КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра международной журналистики

К 25-летию

Кыргызско-Российского Славянского университета

Ирония как образ

Хрестоматия-учебник

Бишкек 2018

УДК

Рецензенты:
д-р полит. наук В. А. Харченко
канд. филол. наук., доц. А. Т. Омурканова

Составители: Н. Л. Слободянюк, А. С. Кацев, А.В. Куликовский

Рекомендован к изданию кафедрой международной журналистики
и Советом факультета международных отношений КРСУ

Идея профессора А.С. Кацева

Подбор материалов Н.Л. Слободянюк

Ирония как образ. Хрестоматия-учебник в 3 частях. / Сост.: Н. Л. Слободянюк, А. С. Кацев, А.В. Куликовский. Бишкек: КРСУ, 2018.

Хрестоматия-учебник представляет обширный литературный материал, в котором центральным приемом создания текста становится ирония. Через нее раскрывается не только закономерности литературного процесса, но и сложные отношения творческой личности и государственной системы, где каждый находит свои способы влиять друг на друга.

Книга представляет интерес для студентов и преподавателей, занимающихся вопросами истории и теории литературы, журналистики и культуры, широкого круга читателей, умеющих и любящих читать.

Оглавление

Обнажение смыслов 10

Александр Блок. «Ирония» 10

Часть 1. Ирония: от фольклора до классики

Климент Смолятич

Биографическая справка 14

Послание Климента, митрополита русского, написанное к смоленскому пресвитеру Фоме, истолкованное монахом Афанасием 16

Апокрифические былины

Терминологическая справка 27

Агафонушка 32

Щелкан Дудентьевич 35

Кострюк 40

Терентий-муж 46

Усишша 53

Вавило и скоморохи 55

Небылица про льдину 62

Небылица про щуку из Белого озера 64

Соломан и Василий Окулович 66

Оника-воин 71

Рахта Рагнозерский 75

Егорий Храбрый 79

Скоморошины

Терминологическая справка 91

Усы 94

Дурень 96

Птицы 106

Из монастыря Боголюбова старец Игренище 108

Чурилья-игуменья и Стафида Давыдовна 112

Гость Терентище 116

Хмель себя выхваляет 123

Народный театр

Терминологическая справка 129
Мнимый барин 132
Лодка 136
Маврух 143
Параша 145
Театр петрушки 148
Петрушка. Народная кукольная комедия 148
Петрушка. Лубок 149
Царь Ирод 153
Прибаутки 161

Симеон Полоцкий

Пиянство 163

Александр Пушкин

Справочный материал 164
История села Горюхина 167
Барышная-крестьянка 177
Росласлев 185
Гаврилиада 191

Александр Герцен

Справочный материал 202
Доктор Крупов 205

Михаил Салтыков-Щедрин

Справочный материал 221
Противоречия 224

Федор Достоевский

Справочный материал 311
Бобок 312
Крокодил 320
Сон смешного человека 344
Рассказ Достоевского — Бобок 355

Иван Тургенев

Справочный материал 357
Страхов Н. Н. Дым 363
Н. Г. Чернышевский. Русский человек на rendez-vous 382
АСЯ 397

Дым....429

Глеб Успенский

Справочный материал....538

Будка....539

Книжка чеков....553

Неплательщики....564

Г. Бялый. Очерки и рассказы Глеба Успенского....578

Лев Троцкий. О Глебе Ивановиче Успенском....592

Владимир Короленко

Справочный материал....609

Судный день ("Иом-кипур")....611

Антон Чехов

Справочный материал....657

Я. В. Абрамов "Наша жизнь в произведениях Чехова"....658

Мужики....670

Учитель словесности....691

Часть 2. Ирония: литература XX и нашего века

Саша Черный

Справочный материал....707

Все в штанах, скроённых одинаково.......708

Прокуроров было слишком много!......710

Простые слова....710

Культурная работа....712

Здравствуй, Муза! Хочешь финик?.....713

Рождение футуризма....715

Стилизованный осел....715

Недержание....716

Евгений Замятин

Справочный материал....717

Алатырь....718

Сергей Есенин

Справочный материал....744

Песнь о великом походе....746

Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве 758

Михаил Булгаков

Справочный материал 762

Тайному другу 764

Москва Краснокаменная 788

Василий Шукшин

Справочный материал 928

Микроскоп 928

Мнение 934

Писатель Евгений Попов о писателе Шукшине: "Этого мужика из деревни в сапогах уважало все киношное сообщество" 937

Владимир Войнович

Справочный материал 939

Сказка о глупом Галилее (сборник) 944

Владычица 944

Запах шоколада 987

В кругу друзей 992

Венедикт Ерофеев

Справочный материал 1005

Москва – Петушки 1006

Максим Кононенко (Mr. Parker). Буква "Ю" как последняя вспышка русского национального сознания или Что хотел сказать Веничка 1059

Соня Стебловская. Веничка и Христос 1066

Василий Аксенов

Справочный материал 1071

Москва Ква-Ква 1072

Виктор Топоров. Зачем откопали Аксенова? 1233

Сергей Довлатов

Справочный материал 1237

Ариэль 1238

Игрушка 1240

Встретились, поговорили 1243

Виноград 1252

Литература продолжается 1258

В окопах "Континента", или малая земля Виктора Некрасова 1263

Д. Быков о Довлатове 1266

Сергей Довлатов: комментарии современников 1269

Эдуард Лимонов

Справочный материал 1272

Двойник 1273

Мы — национальный герой 1279

Дневник неудачника или секретная тетрадь 1300

Захар Прилепин. Семь: ноль Слово о Лимонове 1382

Захар Прилепин: «Лимонов – он как водка и матрешка» 1385

Михаил Дзюбенко. Из статьи «Житие Эдуарда Лимонова, им самим написанное вослед протопопу Аввакуму» 1386

Виктор Пелевин

Справочный материал 1391

Диалектика Переходного Периода Из Ниоткуда В Никуда 1394

ЧИСЛА 1395

Балод Александр. Иронический словарь А Хули 1548

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

Справочный материал 1567

Улитка на склоне 1568

А. Зеркалов. Послесловие к «Улитке на склоне" 1702

Игорь Губерман

Справочный материал 1705

Гарики на каждый день 1706

Григорий Горин

Справочный материал 1751

Поминальная молитва 1752

Действующие лица 1752

Скрытой камерой. Монолог продавца 1849

Александр Цыпкин

Справочный материал 1851

Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы 1852

Андрей Жвалевский, Игорь Мытько

Справочный материал 1951

Здесь вам не причинят никакого вреда 1953

Сергей Курёхин

Справочный материал 2081

Интервью с самим собой 2085

Путешествие по России 2087
Порок и святость 2105
Пять дней из жизни барона Врангеля 2137
Конец драматической оперы 2142
Немой свидетель 2146

Слава Сэ

Справочный материал 2147
Сантехник, его кот, жена и другие подробности 2148

Дина Рубина

Справочный материал 2227
Наш китайский бизнес 2230
Один интеллигент уселся на дороге 2261
Мастер-Тарабука 2287
Терновник 2296
Душегубица 2323

Часть 3. Ирония: детская литература

Василий Аксенов

Мой дедушка- памятник 2346

Артур Гиваргизов

Справочный материал 2521
Из книги "Про королей и вообще" 2522
Глупый разбойник 2522
Обмен 2523
Первый революционер 2523
Из книги " Записки выдающегося двоечника" 2524
Педсовет 2524
Пластическая операция 2524
Три копейки 2525
Девятый вал 2525
Из блокнота 2526
Непослушный ребёнок 2526
Форма. Дети. 2527
Кошка генерала 2527

Генерал без фуражки 2528
Посвящается первому летающему КАМАЗу....2529
Мемориальная доска....2530

Олег Кургузов

Справочный материал 2530
Рассказы маленького мальчика 2532
Борщ по-флотски 2532
Мальчик-папа 2533
Солнце на потолке....2535
Шкаф....2535
Во всём виноват Фарадей....2536
Мы пишем рассказ 2537
Папа и цыгане 2538

Эдуард Успенский

Справочный материал 2540
Гарантийные человечки....2541

Сергей Седов

Справочный материал 2581
Сказки про дураков 2582
Сказки про королей....2588

Феликс Кривин

Справочный материал 2598
Сказки с моралью 2598
Фантастика-буфф 2619

Рената Муха

Справочный материал 2667
Гиппопопоэма....2668

Обнажение смыслов

Ирония, наверное, самая ранняя трансформация слова в образ. Сначала, как изобразительно-выразительное средство, а затем, как сам образ.

Интонация. То же слово, но…чуть измененная интонация, и смысл слова меняется на прямо противоположный. Это не тяжелая сатира и не легкий юмор, высмеивающие все и вся.

Ирония лишь легкий поворот, некий почти скрытый вопрос, и незыблемое подвергается сомнению.

Ирония – путь к карикатуре. Путь.

Ценность иронии в том, что читатель как бы сам, в силу своего интеллекта, деформирует однозначность слова в многозначность, выявляет его потайной смысл и не уничтожает значение, а придает иной некий смысл со знаком вопроса. Принцип «Умный поймет, а с …» позволяет полунамеком добиться большего, чем ниспровержение.

К иронии прибегали словотворцы в древности; сегодня писатели подчас пользуются иронией, создавая образ, подвергающий сомнению постулаты-деалы, дающий читателю возможность задуматься над разгадыванием привычного.

Почему литераторы помимо иронии, как одного из изобразительных средств, создают иронический образ? В череде событий и лет вдруг оказывается, что не так все понятно и не так все однозначно. А иронический образ создает возможность понять нюансы, которые «подтачивают монументы».

В данном издании составители попытались передать целостную картину художественного явления под названием «иронический образ», сближающего разные эпохи, таланты, манеры тех, кто в своих произведениях, иронически взглянув на окружающее, помогает дойти до сути. Имена и произведения – лучшее тому доказательство.

Александр Блок. «Ирония»[1]

[1] Воспроизведено по собранию сочинений А.Блока в 8-ми томах, М.-Л., 1962, ГИХЛ, том 5, стр. 345-349

Я не люблю иронии твоей.

Оставь ее отжившим и нежившим,

А нам с тобой, так горячо любившим,

Еще остаток чувства сохранившим, -

Нам рано предаваться ей.

Некрасов [1]

Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь - сродни душевным недугам и может быть названа "иронией". Ее проявления - приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается - буйством и кощунством.

Я знаю людей, которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают с голоду, что изменяла невеста. Человек хохочет - и не знаешь, выпьет он сейчас, расставшись со мною, уксусной эссенции, увижу ли его еще раз? И мне самому смешно, что этот самый человек, терзаемый смехом, повествующий о том, что он всеми унижен и всеми оставлен, - как бы отсутствует; будто не с ним я говорю, будто и нет этого человека, только хохочет передо мною его рот. Я хочу потрясти его за плечи, схватить за руки, закричать, чтобы он перестал смеяться над тем, что ему дороже жизни, -и не могу. Самого меня ломает бес смеха; и меня самого уже нет. Нас обоих нет. Каждый из нас - только смех, оба мы - только нагло хохочущие рты.

Это - не беллетристика. Многие из вас, углубившись в себя без ложного стыда и лукавства, откроют в себе признаки той же болезни.

Эпидемия свирепствует; кто не болен этой болезнью, болен обратной: он вовсе не умеет улыбнуться, ему ничто не смешно. И по нынешним временам это - не менее страшно, не менее болезненно; разве мало теперь явлений в жизни, к которым нельзя отнестись иначе, как с улыбкой?

Много ли мы знаем и видим примеров созидающего, "звонкого" смеха, о котором говорил Владимир Соловьев [2], увы! - сам не умевший, по-видимому, смеяться "звонким смехом", сам зараженный болезнью безумного хохота? Нет, мы видим всегда и всюду - то лица, скованные серьезностью, не умеющие улыбаться, то лица - судорожно дергающиеся от внутреннего смеха, который готов затопить всю душу человеческую, все благие ее порывы, смести человека, уничтожить его; мы видим людей, одержимых разлагающим смехом, в котором топят они, как в водке, свою радость и свое отчаянье, себя и близких своих, свое творчество, свою жизнь и, наконец, свою смерть.

Кричите им в уши, трясите их за плечи, называйте им дорогое имя, - ничто не поможет. Перед лицом проклятой иронии - все равно для них: добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба [3]. Все смешано, как в кабаке и мгле. Винная истина, "in vino veritas" - явлена миру, все - едино, единое - есть мир; я пьян, ergo - захочу - "приму" мир весь целиком, упаду на колени перед Недотыкомкой, соблазню Беатриче; барахтаясь в канаве, буду полагать, что парю в небесах; захочу - "не приму" мира: докажу, что Беатриче и Недотыкомка одно и то же. Так мне угодно, ибо я пьян. А с пьяного человека - что спрашивается? Пьян иронией, смехом, как водкой; так же все обезличено, все "обесчещено", все - все равно.

Какая же жизнь, какое творчество, какое дело может возникнуть среди людей, больных "иронией", древней болезнью, все более и более заразительной? Сам того не ведая, человек заражается ею; это - как укус упыря; человек сам становится кровопийцей, у него пухнут и наливаются кровью губы, белеет лицо, отрастают клыки [4].

Так проявляется болезнь "ирония".

И как нам не быть зараженными ею, когда только что прожили мы ужасающий девятнадцатый век, русский девятнадцатый век в частности? Век, который хорошо назван "беспламенным пожаром" [5] у одного поэта; блистательный и погребальный век, который бросил на живое лицо человека глазетовый -покров механики, позитивизма и экономического материализма, который похоронил человеческий голос в грохоте машин; металлический век, когда "железный коробок" - поезд железной дороги- обогнал "необгонимую тройку", в которой "Гоголь олицетворял всю Россию", как сказал Глеб Успенский [6].

Как не страдать нам такою болезнью, когда властительнее нашего голоса стали свистки паровозов, когда, стараясь перекричать машину, мы надорвались, выкричали душу (не оттого ли так последовательно, год за годом, умирает русская литература, что выкричана душа интеллигентская, а новая еще не родилась?), и из опустошенной души вырывается уже не созидающая хула и хвала, но разрушающий, опустошительный смех?

На этот смех, на эту иронию указано давно. Еще Добролюбов говорил, что "во всем, что есть лучшего в нашей словесности, видим мы эту иронию, то наивно-открытую, то лукаво-спокойную, то сдержанно-желчную" [7]. Добролюбов видел в этом залог процветания русской сатиры, но не знал всей страшной опасности, приходящей отсюда, по двум причинам.

Во-первых, он страдал обратной болезнью, он не умел улыбнуться, он не владел ни одним из многообразных методов смеха. Он был сыном несмеющейся эпохи, естественной реакцией против которой был Кузьма Прутков. Хорошо, забавно было цитировать Пруткова, теперь это немножко жутко и пошловато, как многие и многие хорошие остроты "победоносцевского периода", даже остроты шутника Владимира Соловьева.

Во-вторых, и это главное, Добролюбов - писатель дореволюционный. В его критических гаданиях не было ни малейшего предвиденья не только андреевского "красного смеха" [8], но и глубин иронии Достоевского. А уж тонкой и разрушительной иронии Сологуба Добролюбов и во сне не видал.

Конечно, и Достоевский, и Андреев, и Сологуб - по-одному - русские сатирики, разоблачители общественных пороков и язв; но по-другому-то, и по самому главному, - храни нас господь от их разрушительного смеха, от их иронии; все они очень несходны между собою, во многом - прямо враждебны. Но представьте себе, что они сошлись в одной комнате, без посторонних свидетелей; посмотрят друг на друга, засмеются и станут заодно... А мы-то слушаем, мы-то верим.

Достоевский не говорит прямого "нет" тому семинарскому нигилизму, который разбирает его. Он влюблен чуть ли не более всего в Свидригайлова [9].

Андреев не только мучается "красным смехом", он, в бессознательных глубинах своей хаотической души, любит двойников ("Черные маски"), любит всенародного провокатора ("Царь-Голод"), любит ту "космическую провокацию", которой проникнута "Жизнь Человека", тот "ледяной ветер безграничных пространств" [10], который колеблет желтое пламя свечи человеческой жизни.

Сологуб не говорит "нет" Недотыкомке, он связан с нею тайным обетом верности. Сологуб не променяет мрака своего бытия ни на какое иное бытие. Смешон тот, кто примет песни Сологуба за жалобы. Никому не станет жаловаться чаровник Сологуб, иронический "русский Верлэн".

И все мы, современные поэты, - у очага страшной заразы. Все мы пропитаны провокаторской иронией Гейне. Тою безмерною влюбленностью, которая для нас самих искажает лики наших икон, чернит сияющие ризы наших святынь.

Некому сказать нам спасительное слово, ибо никто не знает силы нашей зараженности. Какой декадент, какой позитивист, какой православный мистик поймет всю обнаженность этих моих слов? Кто знает то состояние, о котором говорит одинокий Гейне: "Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо!" [11] Ведь это - крик о спасении.

С теми, кто болен иронией, любят посмеяться. Но им не верят или перестают верить. Человек говорит, что он умирает, а ему не верят. И вот - смеющийся человек умирает один. Что ж, может быть к лучшему?

"Собаке - собачья смерть".

Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним. Не верьте никому из нас, верьте тому, что за нами.

Если же мы не способны явить вам то, что за нами, то, чего хотят и чего ждут иные из нас, - отвернитесь от нас скорее. Не делайте из наших исканий - моды, из нашей души - балаганных кукол, которых таскают на потеху публике по улицам, литературным вечерам и альманахам.

Есть священная формула, так или иначе повторяемая всеми писателями:

"Отрекись от себя для себя, но не для России" (Гоголь) [12].

"Чтобы быть самим собою, надо отречься от себя" (Ибсен). [13]

"Личное самоотречение не есть отречение от личности, а есть отречение лица от своего эгоизма" (Вл. Соловьев). [14]

Эту формулу повторяет решительно каждый человек; он неизменнее наталкивается на нее, если живет сколько-нибудь сильной духовной жизнью. Эта формула была бы банальной, если бы не была священной.

Ее-то понять труднее всего.

Я убежден, что в ней лежит спасение и от болезни "иронии", которая есть болезнь личности, болезнь "индивидуализма". Только тогда, когда эта формула проникнет в плоть и кровь каждого из нас, наступит настоящий "кризис индивидуализма". До тех пор мы не застрахованы ни от каких болезней вечно зацветающего, но вечно бесплодного духа.

Ноябрь 1908

Примечания

1. Из стих. Н.А. Некрасова "Я не люблю иронии твоей...".

2. У Вл. Соловьева ("Посвящение к неизданной комедии"): Из смеха звонкого и из глухих рыданий / Созвучие вселенной создано...

3. Недотыкомка - символический образ из роман Сологуба "Мелкий бес".

4. Эти строки были, возможно, навеяны романом английского писателя Брэма Стокера "Вампир граф Дракула", который произвел на Блока сильное впечатление

5. См. стих. В.Я. Брюсова "Фонарики".

6. См.: Г.И. Успенский "Крестьянин и крестьянский труд" (V. "Смягчающие вину обстоятельства"). Ср. характеристику "железного" XIX века во вступлении к первой главе поэмы "Возмездие".

7. Из статьи Н.А. Добролюбова "Собеседник любителей российского слова" (1856).

8. Блок имеет в виду рассказ Л. Андреева "Красный смех".

9. Свидригайлов - один из героев романа Достоевского "Преступление и наказание".

10. Из пьесы Л. Андреева "Жизнь человека" (Пролог).

11. См. "Путевые картины" Г. Гейне (ч. 1, "Путешествие на Гарц").

12. "Выбранные места из переписки с друзьями" ("письмо" XX).

13. "Пер Гюнт" (д. 4).

14. "Национальный вопрос в России" (Собрание сочинений В.С. Соловьева, т. V. СПб. (1902), стр. 42-43).

Часть 1. Ирония: от фольклора до классики

Климент Смолятич

Биографическая справка

Избрание на Киевскую митрополию Климента Смолятича. Миниатюра Лицевого летописного свода. Голицынский том. 2-я пол. XVI в.

Киевский митрополит Климент Смолятич был вторым на Руси (после Илариона) митрополитом из русских, возведенным на первосвятительский престол без благословения константинопольского патриарха собором русских епископов. Это произошло в 1147 г. при великом киевском княжении внука Владимира Мономаха князя Изяслава Мстиславича,— как сообщает Ипатьевская летопись, «постави Изяслав митрополитом Клима Смолятича, вывед из Заруба, бе бо черноризец, скымник, и бысть книжник и философ так, якоже в Русской земле не бяшеть». Противники Изяслава Мстиславича в междукняжеской борьбе (а это было время особенно обострившихся княжеских усобиц) были противниками и митрополита Климента, и когда в 1149 г. князь Изяслав был изгнан с киевского стола Юрием Долгоруким, с ним вместе принужден был покинуть Киев и митрополит Климент. Но уже в 1150 г. Изяславу Мстиславичу удалось вернуть себе киевское княжение, вместе с ним вернулся в Киев и митрополит Климент. После смерти Изяслава Мстиславича, когда Киев вновь занял Юрий Долгорукий, Клименту опять пришлось оставить митрополию: князь Юрий с честью принял присланного из Царьграда митрополита Константина. Новый митрополит провозгласил «испровержение» «Климовой службы и ставлений», так что попы и дьяконы, поставленные Климентом, получили от митрополита-трека разрешение вновь священнодействовать только после того, как подали какое-то «рукописание на Клима». Несмотря на такое развитие событий, Климент Смолятич еще дважды после этого имел шанс занять митрополичий престол. После смерти Юрия Долгорукого (1158 г.), когда дети князя Изяслава Мстиславича позвали на киевское княжение своего дядю князя Ростислава Мстиславича Смоленского, между племянниками и дядей произошел спор, кому быть при Ростиславе митрополитом в Киеве. Дети Изяслава настаивали на

кандидатуре Климента, а Ростислав Мстиславич хотел оставить Константина. Чтобы никому не было обидно, решено было пригласить третье лицо (тем более, что к концу спора между князьями митрополит Константин скончался), в результате чего в 1161 г. в Киев прибыл из Константинополя митрополит Федор.

В 1163 г. митрополит Федор умер. И снова сделана была попытка вернуть Климента Смолятича на митрополию. На этот раз его поддержал сам великий киевский князь Ростислав Мстиславич, решившийся просить Византию о поставлении Климента и пославший, как сообщает летопись, в Константинополь своего посла, «хотя оправити Клима в митрополью». Но княжеского посла опередил новый митрополит Иоанн, присланный в Киев от константинопольского патриарха. Князь Ростислав поначалу не хотел принимать этого митрополита, но византийский император поднес ему «дары многи», уговаривая признать их ставленника, и Ростислав Мстиславич согласился. Право поставлять на Русь митрополитов осталось за константинопольским патриархом.

С этого момента русские летописи перестают упоминать о Клименте Смолятиче; дальнейшая судьба его неизвестна.

Послание пресвитеру Фоме — единственное дошедшее до нас сочинение митрополита Климента, хотя из летописи известно, что он «многа писаниа, написав, предаде». Летописи сохранили характеристику Климента Смолятича как книжника и философа, какого прежде не бывало в Русской земле, и его Послание подтверждает неслучайность такой характеристики. Пресвитер Фома, как видно из контекста Послания, укорил Климента Смолятича в том, что он тщеславится своей ученостью. В ответ на это Климент обрушил на своего адресата целый поток аллегорических толкований текста Священного писания, доказывая ему необходимость их постижения для духовного воспитания христианина. Письмо Климента — это настоящий трактат в защиту аллегорического способа понимания Писания, из которого видно, что автор его прошел хорошую школу византийской образованности.

Со времен возникновения в Византии на заре христианства Александрийской школы богословия христианская культура разрабатывала аллегорический метод понимания библейской священной истории, заключающийся в том, что совершившееся во времени событие понимается как иносказание о смысле, пребывающем вне времени. При таком подходе к тексту Священного Писания всякий библейский рассказ подлежит толкованию в трех значениях: буквальном (или историческом), моральном (или душевном) и мистическом (или духовном). По Посланию Климента Смолятича видно, что аллегорическим методом толкования библейских текстов он владел вполне.

Философами на Руси называли людей образованных, ученых. В Византии это слово имело и более конкретный оттенок, там оно употреблялось в значении звания для лиц, окончивших высшую школу, и было равноценно званию учителя. Современники называли Климента Смолятича философом, из его Послания к пресвитеру Фоме видно, что на это у них были основания.

О пресвитере Фоме нам известно только то, что можно извлечь из содержания Послания. Климент Смолятич послал «философское» «писание» некоему князю (очень вероятно, что Ростиславу Мстиславичу Смоленскому, так как Фома назван в заглавии пресвитером Смоленским), приближенным которого был священник Фома; содержание этого сочинения стало известно Фоме, и он со своей стороны направил послание Клименту, укорив его в философском кичении; возможно, Климент задел каким-то образом в своем сочинении, направленном князю, Фому; возможно, это был давний его оппонент. Дошедший до нас фрагмент переписки между князем, Климентом Смолятичем и

пресвитером Фомой дает нам представление о существовании на Руси открытой литературно-богословской полемики между княжескими дворами, в которой участвовали целые общественные круги во главе с князьями: недаром Климент читал полученное им от Фомы послание «предмногыми послухи и пред княземь Изяславом»; возможно, таким же образом и Фома ознакомился с «писанием» Климента к его князю.

Время создания Послания определяется периодом между 1147 г., годом возведения Климента в митрополиты, и 1154 г., годом смерти князя Изяслава Мстиславича, упоминаемого в Послании как здравствующего.

Послание митрополита Климента известно нам не в первоначальном своем виде, а, как видно из заглавия, с наслоением толкований некоего монаха Афанасия, внесенных в текст в виде вкраплений. Попытку выделить толкования Афанасия из текста Климента см. в книге: Понырко Н. В. Эпистолярное наследие Древней Руси. XI—XIII вв. Исследования, тексты, переводы. СПб., 1992, с. 116—123.

Послание дошло в испорченном виде: многие фрагменты в нем перепутаны местами; очевидно, что в том протографе, с которого делались дошедшие до нас списки (их известно два), были перепутаны листы. В настоящем издании оторвавшиеся фрагменты возвращены на свои места, за счет чего восстановлена смысловая последовательность текста, в комментариях даны соответствующие пояснения. Обоснование перестановок см. в книге: Понырко Н. В. Эпистолярное наследие Древней Руси... с. 97—123, 137—139.[2]

Послание Климента, митрополита русского, написанное к смоленскому пресвитеру Фоме, истолкованное монахом Афанасием[3]

Господи, благослови, отче!

Прочел я, хоть и с промедлением, писание твоей милости и, восхитившись и вникнув в смысл излагаемого, сильно подивился благоразумию твоему, возлюбленный о Господе брат мой Фома. Содержит твое писание дружеское наставление нашему тщеславию, так что я с радостью прочел присланное ко мне от тебя писание пред многими свидетелями и перед князем Изяславом, Но после того, как поведал ты мне, чего ради пишешь, и сам ты, любимый мой, не пообидься на мою, написанную к тебе, хартию.

Ты говоришь мне: «Тщеславишься, пишучи, строишь из себя философа», и сам первый себя обличаешь: разве я что к тебе писал; не писал и не собираюсь писать. Говоришь мне: «По-философски пишешь»; и весьма несправедливо говоришь, будто бы я, оставив почитаемые писания, стал писать из Гомера, и Аристотеля, и Платона, прославившихся эллинскими хитростями. Если я и писал, то не к тебе, а ко князю, да и к тому не скоро. А

[2] Подготовка текста, перевод и комментарии Н. В. Понырко

[3] Мы публикуем Послание Климента Смолятича по рукописи нач. XVI в.— РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 134/1211, л. 214 об. — 231; исправления, сделанные по другому списку (РНБ, собр. ОЛДП, F. № 91, л. 186 об. — 194, нач. XVI в.), другим рукописям и по смыслу, выделены курсивом.

если ты огорчился, что я чем-то тебя задел, то Бог свидетель, что я просто писал, не искушая твоего благоразумия. Если не смог ты этого уразуметь, то всуе указываешь мне на учителя своего Григория. Говоришь мне: «С Григорием беседовал я о спасении душевном». А разве я когда-нибудь похулил или укорил Григория? Я даже считаю его не только праведным, но и преподобным, и, хоть и дерзко сказать, святым. Однако, если он не учил тебя тому, то не знаю, как станешь руководить врученными тебе душами, если ни Григорию, ни тебе это неведомо.

Дивно, что говоришь мне: «Тщеславишься!» Надобно мне сказать тебе, кто ищет славы, — тот, кто присовокупляет дом к дому, к селу села, холопов и крестьян, и борти и пожни, поля и пустоши. От всего этого окаянный Клим вовсе свободен; вместо домов, сел, и бортей, и пожень, крестьян и холопов владеет он четырьмя локтями земли под могилу; и этой могиле многие очевидцы. И если свою могилу вижу я всякий день семикратно, то не знаю, чем мне тщеславиться. Ибо нельзя, сказано, иметь иного пути до церкви, как не мимо могилы своей. Если бы восхотел я славы, что по великому Златоусту не дивно, ибо богатством пренебрегали многие, славой же — ни один, то, первое, — стал бы искать я власти себе по силе. Но тот, кто прозревает сердца и утробы, тот знает, как много я молился, чтоб быть избавлену от власти. Если же снова случилось со мной по его усмотрению, то не подобает мне противиться ему.

С этого места, любимый мой, не стану больше давать тебе ответа, но прошу твое благоразумие ответить на вопрос. Не подобает ли до тонкости испытывать смысл Божественных Писаний? Приблизимся к блаженному Соломону, изрекшему в Притчах: «Если устремишь на него глаза твои, никак тебе не дастся». Ужели и Соломон, славы ища, так пишет? Или: «Премудрость создала себе храм и утвердила семь столпов». Может быть, и это он пишет, славы ища? Вот о чем глаголет Соломон, говоря, что «премудрость создала себе храм»: премудрость — это Божество, а храм — человечество, ибо Христос, истинный Бог наш, как во храм, вселился во плоть, принявши ее от пречистой владычицы нашей Богородицы. А «утвердив семь столпов» — это значит семь соборов святых и богоносных наших отцов.

Или вот еще у родителя сего Соломона: «Ибо возлюбили рабы твои камни и прах его жалеют». О камнях или о прахе говорит Бог Отец, как прикажешь, любимый мой, разуметь те камни и прах? Это же Бог Отец говорит об апостолах.

Или стану читать книги Бытия, написанные боговидцем Моисеем, — «И сказал Господь Бог: “Вот Адам стал как мы и как один из нас, и ныне да не возьмет он от древа жизни, протянув к нему руку”». Или и это читают ради тщеславия? И вот дьявол, искони лукавый враг и ненавистник человеку, не могущий никак обольстить почтенного Богом умного и словесного человека, избрал себе сосудом и ходатаем единого из земных скотов — змею, и устами ее нашептал свою живую речь в Евины уши, соблазняя ее на простертие рук к древу познания добра и зла и на пагубное то вкушение. И посмотри, какими словами льстивыми подущает ее и подвигает, и быстру сотворяет на дело вкушения. Говорит ей:

«Если вкусите от древа, будете как Бог разумеющими зло и добро». Жена же как создание слабое и происшедшее уже после мужа, желая возвыситься в равенство с Богом, тотчас приблизилась к древу и быстро вкусила и мужу дала. Увы мне, немощному, праотцы мои съели плод и стали наги!

И посмотри, как сразу же отскочил от них лукавый, заполучив свою победу и одоление, увидав их обнаженными от Богом тканой одежды. Потом снова пришел Господь, говоря Адаму: «Вот Адам стал как один из нас», стыдя его и как бы говоря: «Где же совет льстивого дьявола, сказавшего тебе: “Будете как Бог”, вот ты не только не стал как я, но теперь и чести моей лишился, и смертную язву и суд приимешь, ибо земля ты, и в землю пойдешь», и далее.

Или что мне, брат, до Иакова и двух жен его, Лии и Рахили, если о них просто так читать, а не доискиваться духовного смысла! Прообразует собой во всем благой Иаков, что как у Бога было два народа, израильский и тот, что из язычников, и израильские люди имели покров на сердце, то есть уклонялись в неверие, а те, что из язычников, облекались красотою правоверия, так и у Иакова две жены было, Лия — прообраз израильского народа, потому и была она больна глазами, что израильский народ имел покров на сердце, и Рахиль — прообраз языческого народа, потому и называет ее Священное Писание прекрасной, что народ из язычников преуспевал в добродетели веры и, уверовав истинно в Спасителя, с корнем исторг дьявольскую лесть, образ же этому была Рахиль, потому и украла она отеческих идолов.

Что мне до хромоты Иакова — может быть, жалко мне, что он храмлет! Иаков боялся Исава, брата своего. И Бог, чтобы сделать Иакова смелым, боролся с ним, как с Богом <чтобы уверить его:> «На Бога ты укрепился, а на человека <разве> не можешь». Еще же прообразом был Иаков воплощения Божьего Слова. Потому и бедро повредил ему Бог, что Божье естество было сильнее человеческого естества.

Что мне до Зары и Фареса! Но стремлюсь я понять о них иносказательно. Разве это тщеславие? Ведь в образах Зары и Фареса дано провозвещение о двух народах: в Фаресе — об израильских, в Заре же — о тех, кто из язычников. Потому Зара и высунул первым руку, что он еще до Закона <доброе> житие показал. Ведь и до Закона были некоторые люди, что украшались благочестием, не по Закону, а по вере живя. Красная же нить — то было провозвещение о бывших до Закона жертвоприношениях, которые сотворяли Авель, Енох, Ной, Авраам. И когда он убрал назад свою руку, что значит отшествие от благочестия, тогда появился на свет Фарес. Закон — это середина, потому он и был до Закона. Если станем говорить, что Лия по Закону была несовершенной в благочестии, то как же тогда списатель, ясно пиша, мог сказать: «И был муж удачливый»? Прочти стоящее перед тем изречение и поймешь истинный смысл, ибо сказано там: «и был Господь с ним».

О Заре и Фаресе. Об этом сказано в Божественном Писании, в первых книгах Моисеевых написано, в которых об Аврааме и о прочих; повествуется там и об Иуде, от которого по плоти Христос Бог наш, как прельстила его Фамара, украсивши себя подобно блуднице. Но да не будет осужден за это Иуда, ибо не был он блудником; говорю, что не ведая он это совершил, и Фамара тоже, хотя она и ведаючи соединилась с ним, но не для прелюбодеяния пожелала соединиться, а ради деторождения. Ибо взял Иуда, — рассказывает Писание, — жену ханаанеянку, имя ей Висуя, и вошел к ней, и зачав, родила она сына, и дала имя ему Ир, и потом еще родила сына и нарекла имя ему Онан, и продолжив, еще родила сына и дала имя ему Силом. И стал Ир, первенец Иудин, нехорош перед Богом, и убил его Бог. И сказал Иуда Оиану, сыну своему: «Войди к жене брата своего и обладай ею и восстанови потомство брату своему». Онан же, уразумев, что это будет не его потомство, когда был с женою брата своего, пролил семя на землю, чтобы не было потомства у брата его. Разумевши, явил себя неугодным Богу, ибо сотворил такое, и убил его Бог. И сказал Иуда Фамаре, невестке своей: «Иди и поселись в доме своем, пока не станет взрослым Силом, сын мой». И, уйдя, поселилась Фамара в доме отца своего. Прошло время, и умерла Висуя, жена Иудина, и, утешившись, пошел Иуда сам к стерегущим овец его.

И Ирас, пастух его, поведал Фамаре, невестке его, сказавши: «Вот свекор твой грядет посмотреть овец своих». И сбросив с себя вдовьи свои одежды, облеклась она в одежды украшенные и села ждать пред вратами, пока не придет Иуда. И увидал ее Иуда и принял за блудницу, ибо закрыла она тогда лицо свое, не узнал, что это невестка его, и, соблазнившись, сказал ей: «Дай мне войти к тебе». Она же сказала: «Что дашь мне, если войдешь ко мне?» И он сказал: «Я дам тебе козленка из стад своих». Она же сказала: «Не дашь ли мне залог, пока не приведешь его». И он сказал: «Дам залог»; она же сказала: «Дай мне перстень твой и гривну и жезл, что в руке твоей». И дал ей, и вошел к ней. И зачала она от него. И он, вставши, ушел. И она, повергнув с себя одежды украшенные, облеклась снова в ризы вдовства своего. И отпустил Иуда козленка от стад своих с Дамаситом, пастухом своим, чтобы взять залог у жены. И не нашел ее Дамасит, и спрашивал он у тамошних мужей, где находится любодеица. Они же отвечали: «Здесь нет любодеицы». По прошествии же трех месяцев сообщили Иуде: «Соблудила Фамара, невестка твоя, и носит во чреве своем зачатое от блуда». И сказал Иуда: «Отведите ее, пусть сожгут ее». И когда вели ее, послала она к свекру своему залог, сказав: «Которому человеку это принадлежит, от того и ношу я во чреве; узнай, чей перстень, и гривна, и жезл сей». И узнал его Иуда и сказал: «Оправдалась Фамара, ибо не дал я ее Силому, сыну моему, и не позаботился сочетать ее с ним браком».

Смотри же, как требует Фамара у Иуды залог, не платы желая, но надеясь, что тотчас же украдет от совокупления с ним чадородие. Если бы не взяла она этого залога, то умерла бы, будучи осуждена Иудой, ибо не поверил бы Иуда словам ее, что понесла от него. Но смотри, как посылает она к нему, говоря: «Чей это залог». И Иуда, узнав свой перстень, и гривну, и жезл, сказал: «Оправдалась Фамара», и, осудивши ее прежде на смерть, ибо слышал, что согрешила она, узнав, что это от совокупления с ним, уже оправдывает ее и обеляет, ибо не дал ее Силому, сыну своему.

За грехом и осуждением следует смерть, за правдой и оправданием — жизнь. Потому оправдалась Фамара. И так зачав, породила она плод, Зару и Фареса, прообраз Закону и Благодати. И было так, когда настало время их рождения, Зара первым высунул руку. И та, что ждала их появления из материнской утробы, повязала ему красную нить на руку, после этого появился на свет Фарес, ибо Фарес есть середина между бывшим благочестием и будущей Благодатью. Почему же Зара высунул руку раньше, чем появился на свет Фарес? Не было ли здесь прообраза благочестия и Благодати? Тем, что высунул он руку, показано благочестие, которое творили и Авель, и Сиф, и Енох, и Ной, и Авраам. А красная нить была прообразом крови тех жертв, что приносили они Богу. И так показавши рукою, предоставляет он первым появиться Закону, то есть Фаресу; потом появился Зара. Этими двумя был дан прообраз, они провозвестили о двух народах: Фарес — об израильском, Зара же — о тех, кто из язычников.

И посмотри, как оказались оправданными Иуда и Фамара, ибо не ради прелюбодейства сотворила она это и не потому, что захотела поддаться разожжению похоти. Если бы этого она захотела, не стала бы искать Иуды при том, что многие проходили мимо нее. Но именно его потомством захотела она разрешить узы своего бесчадия. Если бы был ее плод от той мнимой скверной и нечистой похоти и от беззакония, помимо Божьего усмотрения, то не стал бы Бог ее плодом прообразовывать грядущую тайну великого своего промысла о человеке: им будет сотворено богоявление, и отбежавшее и отползшее от него человеческое естество, уклонившееся в беззаконные наслаждения, Христос, придя, исцелит, возьмет убегающего и отпадшего от Бога и к себе, приблизив, приведет.

Пишет евангелист: «Иуда родил Фареса и Зару от Фамары, Фарес же родил Эсрома, Эсром же родил Арама, Арам родил Аминодава, а Аминодав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Овида от Руфи, Овид родил Иессея, Иессей родил царя Давыда». Матфей и Лука, чистые евангелисты, явственно показали, что от рода Давыдова единородное Слово Божие, Христос, Бог наш, родился, от чистой Девицы. Матфей от Давыда через Соломона выводит Иосифа, Мариина обручника. Лука же — через Нафу. Иосиф же, происходя из рода Давыдова и будучи праведным, как свидетельствует о том святое Евангелие, не привел бы себе не по закону святую Деву, если бы не было на то знамений.

Следует нам знать, что существовал закон: когда умирал мужчина, то брату его полагалось взять себе в жены жену умершего, чтобы восстановить потомство брату своему; так что следует понимать: тот, кто по естеству принадлежал второму родителю, по закону был сыном умершего. И так из колена Нафова, сына Давыдова, Левгия родил Мелхию и Панфира, а Панфир родил Варпаифира, так называвшегося, Варпаифир родил Иоакима, Иоаким родил святую Богородицу. А из колена Соломонова, сына Давыдова, Матфан имел жену, от которой родил Иакова; когда же умер Матфан, Мелхий, из колена Нафова, сын Левгиин, брат Панфиров, взял за себя жену Матфанову, мать Иакова. И родила она Илия, и были Иаков и Илий единоутробными братьями, Иаков от колена Соломонова, Илий от колена Нафова. Илий же умер без чада, и взял Иаков, брат его, что был из колена Соломонова, жену его, чтобы восстановить потомство брату своему, и родил Иосифа; так

что Иосиф по естеству сын Иакова, по закону же — Илия, который от Нафы. Иоаким же взял в жены чистую и хвалы достойную Анну, от которой и родилась пречистая девица, владычица наша Богородица и приснодева Мария, происходящая из рода Давыдова, от которой родился истинный Христос Бог наш. Если же Мария от Давыда, то ясно, что и Христос от Давыдова племени, если же от Давыдова племени, то и от Фареса, если же от Фареса, то воистину от Иудина колена воссиял Господь наш, как и глаголет святое Евангелие. Аполинариево безумство стыдится говорить о совершенном его воплощении, как бы стыдясь видеть в человеческом истинное наше спасение и мня, что грешно относить это ко Христу Спасителю. Но если тот, в ком нет греха, пришел на это, и принял рабий образ, и вочеловечился ради угашения греховной силы, ибо всегда, где Бог, там нет греха, то чем может осквернить скверный того, кто без греха. Потому многие, будучи свидетелями и служителями Христовыми, поведали о нем со всем дерзновением, ни о чем плотском, хульно помышляемом, не доискиваясь и тем поучая и нас.

Другие же об этом с хулой помышляют, поминают Зару и Фареса и говорят, что они родились от прелюбодейства. Нет, не от прелюбодейства родились они, а по Божьему промыслу. Разве без плотского совокупления оставалась Фамара, когда была за первым сыном Иудиным и потом за вторым? Ведь легче ей было тогда понести во чреве, чем от единственного того совокупления с Иудой. Но тогда она узы бесплодия носила во чреве своем вместо чадородия. И вот от единственного совокупления разрешились узы бесплодия, и так зачав, родила она богознаменитый тот плод, ибо Бог — это огонь, поедающий и очищающий грехи. В те времена действовал Бог через завет, данный Аврааму, прообразовал через тех будущее.

Если же мы собираемся осудить все подзаконное, тогда и некоторых из двенадцати патриархов осудить собираемся, ибо не все из их матерей сочетались с Иаковом законным браком, только Лия и Рахиль, по отеческому преданию. И если всех тех укорим и осудим, то значит, мы сами хотим быть другими богами. Ибо если «Господь оправдывает, то кто осуждает». Затем, спустя многие годы и многие поколения пришел Моисей и сподобился видеть Бога на Синайской горе, и дал ему Бог Закон, написанный на скрижалях каменных, повелевая людям израильским быть под властью Закона. С наступлением же Закона прекратилось бывшее в Завете многоженство и возвелось в закон сочетаться с одной женой. Ибо Законом был упразднен Завет, а Благодать упразднила и то, и другое, заветное и законное, когда воссияло солнце. Нужда есть всему миру пребывать под мраком, но подобает ему осветиться пресветлыми лучами.

Так и, когда Христос Бог наш, солнце праведное, озарил нас божественным светом и осветил нас святым крещением, тогда «все древнее прошло, и все стало новое». И уже не теснится в Законе человечество, но в Благодати свободно ходит. Ибо все ветхозаветное — это тень и прообраз будущего, а не сама та истина.

Несмотря на обилие словес не премину я все же сказать о блаженной Руфи, ибо и та подвергается осуждению. Та, которую Божественное Писание не осуждает, но даже и

похваляет, ибо не прежде законного брака сочеталась она с Воозом, но по закону, будучи вдовой, моавитянкой, и так, зачав, родила Овида, деда славному царю Давыду. И да заградятся уста глаголющим на Бога неправду. Славный тот богоотец и пророк говорит, что «не от востока, не от запада, не от пустыни возвышение, но Бог есть судия, и одного он смиряет, а другого возносит. Ибо чаша, — говорит, — со смешанным вином в руке Господней исполнена разделения». «Ибо кто, — гласит Писание, — познает ум Господень, или кто был советником ему». «Ибо он взял грехи наши и беззакония наши понес; раною его мы все исцелились», но при этом он не обременился нашими прегрешениями, как говорят некоторые, конец которых — крайняя пагуба, а только сам облегчил от тяжких бремен хребет наш. Ревнив Бог, не даст он славы своей тому, кто уклоняется от него, покарает его с творящими беззаконие. Ибо нет неправды у Бога, и скажу, что не будет. Провидит сердца и утробы, ибо он Бог праведный.

Если хочешь узнать о том, зачем священнослужители получают груди.

Зачем повелено брать груди священникам. То зримо сжигалось на жертвеннике, в знак того, что Бог заповедал им никогда не возвращаться на лукавые их деяния: тук — это знак Закона, его приносили за грехи их, тук приносим был за чревоугодие, почки же — за похотное сластолюбие, селезенка — за ярость, ибо она на желчном месте лежит. Священнику же как часть его отдавались груди и плечи. Груди — ради ведения, ибо испытывает Бог святителя, плечи — ради действия, чтобы и деятелен, и умудрен ведением был святитель.

Или то, что говорится в книге Левит об отрыгании жвачки. Может быть, и об этом знать — тоже тщеславие? Учит нас этим, как подобает быть чистым. Животными, имеющими раздвоенное копыто, учит нас отделять благие деяния от супротивных им. Жующими жвачку — быть боголюбивыми. Ибо как жующие жвачку отрыгают пищу, так и нам подобает день и ночь помышлять о Божиих заповедях. Водными же животными, имеющими перья и чешую, учит нас: как одни пребывают вознесенными горе, а другие держатся дольнего, так подобает и нам возвышаться со благими и разумными деяниями, а не оставаться приземленными. Птицами же учит нас воздерживаться от лихоимства, не ходить во тьме — не во тьме, но в свете, что значит: в правде.

Или знать о том, что лишь на пятый год заповедано есть от древа плод, это тоже значит тщеславиться? Из-за множества словес миную книги Второзаконие, и Судей, и Руфь. Укажу на Экклезиаста, сказавшего: «Плеть трерменносплетенная не скоро перервется». Ведь не о плети говорит Соломон, а о замыслах напоминает, ибо всякая дума и замысел, если они утвердятся и не поколеблются, то достигнут желаемого. Ради этого и сотворил Соломон притчу о плети.

Но вспоминаю о моем писании ко князю твоему, а моему присному господину: «Ибо и пиявицы той не уберегся». Пиявицей называет Писание сластолюбие и славолюбие, что

прекрасно прилепляются не только к египтянам, но и к иерусалимлянам. А египтяне — это миряне, иерусалимляне же — монахи. Славы же и сласти не только миряне желают, но и монахи; желание это преследует всякого из нас до самого гроба; даже если кто из нас и до глубокой старости дойдет, то и здесь от славолюбия отстать не может. «Ибо диктатор мой изнемог от чувственных и невещественных разбойников на пути из Иерусалима в Иерихон». Диктатором ум называется, так что здесь сказано: «Ибо и ум мой изнемог»; чувственными же и невещественными разбойниками называет бесов; Иерихоном же мир называется. На это в Евангелии указывает Господь наш Исус Христос, говоря: «Человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, и, раздевши его, изранили его». Иерусалимом называется Эдем, Иерихоном же — мир, исходящий же человек — Адам, разбойники же — бесы, ибо их прельщением обнажился он от Богом тканой одежды, ранами же называет грехи.

Что я по-философски писал, не пойму! Христос сказал апостолам, святым ученикам: «Вам дано знать тайны царствия Божьего, а остальным — в притчах». Это ли, дорогой мой, философия, с помощью которой я славы ищу пред людьми?

Когда описывают евангелисты чудеса Христовы, хочу я это понимать иносказательно и духовно. «Что мне в дочери князя Иаира?», — вопрошаю духовно, и отвечает мне: «То и то». Что мне в дочери ханаанеянки, но я хочу понять о ней духовно. Что мне в кровоточивой, — ищу смысла слова! Что мне в пяти хлебах и двух рыбах, — спрашиваю евангелиста! Что мне в усохшей смокве, — вопрошаю о смысле слова! Что мне в той старице, подавшей две медных монеты в сокровищницу! Но молюсь, чтоб омраченная моя душа стала вдовицей и подала две лепты в сокровищницу: от плоти — целомудрие, от души же — смирение. Что мне в ловлении рыбы, — вопрошаю евангелиста! Что мне в страждущем водяной болезнью, когда хочу я понимать о нем духовно! Обо всех этих божественных Господа нашего Исуса Христа знамениях и чудотворениях, упоминаемых в святом Евангелии, умышленно я помянул, что так же нашли подобающим применить и святые и блаженные отцы наши к Господьским словам и истолковать и то, и это весьма полезно, и хорошо, и похвально.

Все это не так чудно и славно, как сама та истина, которую Господь наш делом показал, сотворив чудо и знамение, воскресив дочь князя Иаира, уже умершую и испустившую дух. Если и ханаанеянку помянем, и кровоточивую, и пять хлебов, и две рыбы, и усохшую смокву, или ту старицу, подавшую две лепты в сокровищницу, и ловление рыб, и страждущего водяной болезнью, исцелившегося, о котором у Луки, все это именно так воистину было, как рассказывает евангелист, и Господь наш не притчею, но делом показал божественные свои знамения и чудеса.

Что мне в самарянке, даже если она и свята, и в пяти мужах ее, и в шестом, или в колодце Иакова, и в сыновьях Иакова, и стадах их! Но говорит мне отец ираклийский епископ, хочешь ли узнать о чем: самарянка — это душа, а пять ее мужей — пять чувств, а шестой

ее муж — ум, колодец Иакова — запинатель по Иакове, сыновья Иакова — добрые деяния, стада же — благие помыслы.

Это ли, брат, в поисках славы пишу?! Сильно ошибся ты! Исцеляет Исус расслабленного, страдавшего тридцать восемь лет, у Овчей купели, которая имеет пять притворов. Что значит тридцать и восемь лет? И говорит мне авва: купель — это крещение, где искупался агнец Христос, пять притворов — четыре чувства, пятое — разумение; тридцать лет расслабленный есть всякий, кто не верует в Троицу; о восьми годах поведает тебе Соломон, сказавший: «Дай часть семи, также и восьмому». Доискивающийся до всего этого в тонкости должен ли, дорогой мой, по-твоему, тщеславиться?!

И снова вспоминаю упомянутого тобой учителя Григория, которого не стыжусь и святым назвать. И не осуждая его, хочу сказать, но ради истины: Григорий знал альфу так же, как ты, и виту подобным же образом, и всю на двадцать четыре буквы грамоту. А слышишь ли ты, есть у меня мужи, я сам тому свидетель, каждый из которых может сказать альфу, не лгу, на сто, или двести, или триста, или четыреста раз, и виту — так же. Вникай, мой дорогой, велено вникать и уразумевать, что все происходит, и содевается, и укрепляется силой Божией. Не дается ни единая помощь без помощи Божией, ни единая крепость без укрепления Божьего, ибо сказано — «все, елико восхотел Господь, то и сотворил на небесах, и на земле, и в море, и во всех безднах» и прочее.

Подобает нам, возлюбленные, вникать и уразумевать. Посмотри на огонь, из камня высекаемый и трением из дерева исходящий, что создается и возгнетается человеческими вещественными руками. Когда огонь разгорится, смотри, как ухищрением человеческим очищается самая чистая вещь, влагаемая в него. Например, если окажется золото или серебро наполненным какой-либо скверной или примесью, и если вложить их в огонь и жечь огненным пламенем, то очищается это золото и серебро и возвращается давшему его чистым и невредимым, а подмешавшаяся к нему грязь без помехи уничтожается. Так если вещественный огонь, сотворенный Богом на службу наделенному умом, мыслящему и разумному человеку...

И посмотри на силу пламени.

Человек, почтённый Богом, очищает вещью вещь. Так если мы, будучи творением Божиим, действуем как хотим с помощью твари, им же сотворенной, то, тем более и более, что следует помышлять нам о Боге, разума которого и премудрости не может наш ум и в малой степени постигнуть; и не только наш ум, но и святые ангелы и архангелы и все ангельские чины. Не подобает ли Ему действовать через им самим сотворенную тварь, как он хочет, управлять великославным своим кораблем. Промыслу же его не подобает нам противиться, только славить и благодарить. И как приняли мы законное и благодатное Святое Писание от общего владыки, Господа нашего Исуса Христа, Спасителя и правителя наших душ, от святых и божественных его апостолов по дару, благодати и

силе Духа, так да будем держаться, возлюбленные, за эту поданную нам надежду, не уклоняясь ни влево, ни вправо, да не ввергнемся на самое дно пагубы, но, приближаясь к истинным и честным церковным святителям, достигнем вышней светлости в грядущем царствии Господа нашего Исуса Христа, которому слава вместе со Отцом и пресвятым и благим и животворящим Духом всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Ибо не ехион морской преградил путь кораблю, внутри которого спал тревечерний странник! А ехион — это такое есть в море малое и неприметное животное, многажды бывает оно учителем плавающих. Ибо когда собирается быть буря и бывает затишье перед ней, тогда, предвидя смятение, которое предстоит поднять ветру, влезает оно на твердый камень и сильно качается, так что волнам морским невозможно его оторвать; и когда это знамение видят корабельные гребцы, то уразумевают, что приближается ветреная буря. Никто из астрологов или халдеев, следящих за ходом звезд и предсказывающих воздушные бури, не учил этого ехиона, но морю и ветрам Господь худую эту животину наставил на истинное последование великой своей мудрости. Ничто не преобидено Господом, все видит бессонное его око, за всем смотрит, надо всем стоит, подавая всякому спасение. И раз уж того ехиона не оставил Бог без своего места, то сколь более изобилуют его щедроты и человеколюбие для нас, уповающих на имя его святое. Устраивает премудро своим промыслом наше спасение и повелевает всякому так, как желает.

Когда был послан Богом пророк Иона в великий град Ниневию, да проречет ему тридневное разорение, и сверх силы своей воздвиг пророк гнев на Бога и восхотел бежать от лица Божия в Таре, тогда не ехион морской остановил плаванье того корабля, в недрах которого спал Иона, тревечерний тот странник, тревечерний — потому что столько времени в ките оставался, странник же — потому что бежал. Ибо не было тогда ни времени, ни дней алкионских, но всемогущая сила Божия сделала так, что разбился корабль. Пророк, гневаясь, бежал, чудодей же Владыка запретил кораблю. Ибо множество можно было видеть тогда кораблей, без помехи плывущих туда и сюда, только один из них из-за Ионы терпел жестокое крушение. И до тех пор не успокоился, покуда не заполучил гневливого того бегуна, препоручив морю его спасение. Море же, приняв его, пустило в пучины свои, пучины же, принявши его, отдали в чрево бессолнечному зверю, глубинному льву, или киту. Чрево же китово, пророка приняв, хотя того или не хотя, скоро принесло доброго проповедника к Ниневийскому граду; сладкоядный, принявши в утробу, снова выпустил на свет того, кто провидел слово Господне, и научил спасению, и даровал от Бога жизнь тем, кто покаялся. Кто же это все сотворил, не Христос ли Бог, дивный в славе, творящий один чудеса!

Ибо не семидневный срок, охранявший рождение и возрастание птицы алкиона, утишил девственную пучину, но юноши рыдание, удивившее с ним плывших. Алкион есть морская птица, гнездо себе вьет на морском берегу, на песке, и яйца рождает на песке среди зимы, когда со многими бурями устремляются ветры на землю. Но прекращаются в то время ветры и утишаются волны морские, когда алкион семь дней сидит на яйцах, ибо только в те дни высиживает он птенца. И так как на вскармливание птенцов и возрастание их требуются другие семь дней, то великощедрый Бог даровал малой сей животине такую

тишину на время ее рождения и возрастания. Об этом и мореходы знают, называют они те дни алкионитскими. Это и нам наука, как просить у Бога себе добра и пользы, чтобы некогда получить и сподобиться спасения, которым Бог и бессловесных наделяет по своему промыслу. Ради же нас что ни сотворит он преславное, по образу и по подобию Божию сущих, если даже ради малой птицы удерживается такое великое гордое море, посреди зимы тихо стать повелеваемое.

Когда великий Григорий Богослов в юности плыл в Афины, желая выучиться их наукам, и внезапно поднялся бурный ветер и взволновалось море так, что корабль стал терпеть крушение и все уже отчаялись остаться в живых, тогда юноша так рыдал и стенал, что заставил дивиться этому всех находившихся на корабле людей, и внезапно от ярости Посейдоновой, то есть морской, они освободились и очутились в кротости Деметры-земли, то есть в кротости земли и покое. Деметрой земля называется.

В глубокой старости глубокое возвещал. Ибо в крайней и глубокой старости написал шестнадцать чудных и хвалы достойных Слов, которые установлено читать в церкви за великий разум и глубину сокровенных в них дивных словес.

Не прованская саламандра погасила ту, что была разожжена сорокадевятикратно для составивших тогда в Багдаде всемирный хор. Саламандра — это зверек, живет во внутренней Индии, а внутренняя Индия — это Средиземлие, в тех местах, в горах и живет этот зверек, что зовется саламандрой. И так он устроен от Бога естеством: если бросят его в огненную печь, то пламень от него угасает, а сам он остается невредим. А под 49-кратно разожженной подразумевает списатель вавилонскую печь, которую растопил беззаконный царь, самый злохитрый на земле, когда сотворил он и поставил тело златое, которому не поклонились богоносные дети. Тогда нечестивый тот цесарь повелел разжечь печь на семижды семь крат. Сочтя семью семь, получаем 49. И так те юноши в столь сильном огне не сварились, потому что осиял их прохладный дух и превратил пламень в росу. И это не саламандра погасила багдадскую, или вавилонскую, печь, но всемогущий ангел Божий, Христос Бог, единородный Сын Отчий, среди пламени спас трех верных юношей, прохладив промыслом Божиим. Нечестивый же тот царь как будто дару пророческого сподобился, ибо, увидав его в печи, провещал предстоящим: «Не трех ли человек ввергли в печь?»; и все как в один голос сказали: «О цесарь, во веки живи, трех». «А как же, — сказал он, — вижу четырех, и образ четвертого подобен Сыну Божию?» О, как велик твой промысел, человеколюбче Христе, не только отроков спас и чудо сотворил, но и предуказал на будущую тайну рождества своего от Девицы. Сперва своему боговидцу Моисею в купине явил девическую тайну, так же и в пещи дал прообраз неопалимой девической утробы твоей матери, желая своею волею принять земнородный образ, человеколюбче.

Не гульные словеса остановили ассирийских зверей перед тем скопцом, что сподобился боговедения. Гульные словеса — значит волшебные, ведь многократно могут разные чародеи укрощать лютых псов и зверей кознями чародейства. Когда Даниил был во рве,

вверженный туда вместе со зверьми, то не волшебные ухищрения, не чародейства заградили уста ассирийским зверям, не таков был пророк, но вседержительная и всемогущая сила Божия, словно овец, тех пророку показала. Не грифон из Александрова хождения по поднебесной высоте скоро перенес от египетской нивы в халдейскую яму одного пророка, чтобы накормить другого пророка; а грифоном зовется птица ног, о которой рассказывается в эллинских писаниях об Александровой путешествии по поднебесной высоте. Когда Аввакум из Египта шел ко жнецам и нес им брашно, тогда не грифон, или ног, поднял его, но посланная свыше сила Божия. Скоро ангел перенес того пророка, чтобы увидел он беду другого пророка, и место то, и душу его, изможденную и алчащую брашна, и насытил его, послав ему изобильно через тезоименника.

Но если я стану писать обо всем до единого, то понадобится мне целое лето, чтобы повествовать.

Что мне в Пентефрии скопце, который купил Иосифа! Если скопцом был, почему имел он жену, этого, что ли, ищу? Имел он ее для попечения над каждодневными делами домашними, потому она, оставшаяся без мужа, и воспылала похотью к тому. Или что мне в коростелях, сгнивших до утра при исходе из Египта, или и здесь мне скажешь, чтоб я не тщеславился! Ведь было преступление закона: Бог повелел им, уча жить свободным житием, чтобы брали они себе пищи столько, сколько требуется на день, они же не веровали и собрали больше, чем требовалось для дневной пищи; потому и протухли коростели. И что «не следует варить ягненка в молоке его матери», может быть, по-твоему, и в это вникают ради тщеславия? По некоему обычаю принято считать, что тот, кто варит ягненка в молоке его матери, варит и мать. А закон это отвергает — приносить Богу вместе с потомством мать его.

Премного я, брат, дивлюсь, как же учил тебя Григорий, если всего этого не дал тебе постигнуть. Вот уж дивлюсь!

Апокрифические былины

Терминологическая справка

1. «Агафонушка» – одна из лучших былинных скоморошин-пародий. Пародирование начинается здесь с первых же строк: Высока ли, высота потолочная, глубока глубота подпольная, в которых нетрудно узнать знаменитую былинную запевку: Высота ли, высота поднебесная... Точно так же пародируется здесь богатырская драка – великий бой, да и сам образ богатыря Агафонушки, у которого шуба из свиных хвостов.

Вторая часть скоморошины построена из небывальщин и небылиц.

Юмор «Агафонушки», как и вообще народной сатиры, отличается «грубоватостью». В предисловии ко второму изданию «Сборника Кирши Данилова» 1818 года говорилось по этому поводу: «Данилов писал более для людей необразованных – потому у него много фарсов; пел не для бессмертия, а для удовлетворения своих слишком веселых слушателей – посему он пренебрегал умеренностью и правилами благопристойности. Места, в нашем издании означенные точками, показывают, что тут Певец наш, пресыщенный дарами Бахуса и мечтаниями о сладострастных Вакханках, терял совершенно уважение к стыдливости... Он даже целые семь песен пустил по тому пути, на коем впоследствии прославился Барков, хороший поэт, к сожалению, талант свой во зло употребивший».

2. Песня о Щелкане Дудентьевиче уникальна во многих отношениях. Во-первых, это единственное произведение устного народного творчества, полностью посвященное не герою, а антигерою, одной из самых зловещих фигур как в русском эпосе, так и в русской истории. Во-вторых, песня о нем, как и песня про Авдотью Рязаночку, – самая древняя из сохранившихся народных исторических песен, отразивших борьбу с иноземным игом. И в-третьих, «Щелкан Дудентьевич», как никакое другое фольклорное произведение, отражает вполне конкретное историческое событие – знаменитое Тверское восстание 1327 года. Совпадений здесь (причем, бесспорных) несколько: это и сам факт восстания в Твери, и расправа с ордынским «даругой» (сборщиком дани), и полное совпадение имен фольклорного героя и исторической личности. «Прииде,– сообщает Воскресенская летопись,– из орды посол силен в Тверь, именем Щелкан, и начата насилие творити велико, а князя Александра Михайловича и его братию хотяше побити, а сам сести хотяше во Твери на княжении, а иных князей своих хотяше посажати по иным городам Руским, и хотяше привести христиан в бесерменскую веру». Таким образом, речь идет не об отдельном случае и не об одном Щелкане, а о начале насаждения на Руси баскаков, о том, как эта новая форма угнетения была встречена на Руси. Подробно описывают летописи и само восстание, при этом обращает на себя внимание, что, по летописной версии, жители города сначала приходят за помощью к князю Александру и просят его, дабы их оборонил. Но вся княжеская помощь состояла в том, что он терпети им веляще. А в фольклорной, в народной, версии ни князя, ни его братии вовсе нет, народ обращается к богатырям Борисовичам, которые и расправляются с Щелканом.

Во многих вариантах, включая классический из «Сборника Кирша Данилова», в песне о Щелкане Дудентьевиче несомненны следы скоморошьей обработки. Зловещему облику Щелкана приданы черты гротеска, сатиры.

3. Широко известен текст исторической песни о женитьбе Ивана Грозного на кабардинской княжне Марии Темрюковне в 1561 году, но сам сюжет ее полностью выдуман, действительны лишь имена героев: Ивана Грозного, Марии Темрюковны (Домрюковны) и ее брата Мастрюка (Кострюка),– все остальное принадлежит области народной фантазии. Но одновременно эта же самая песня существует и в скоморошьей обработке, с подчеркнуто шутовским, пародийным началом. Один из таких скоморошьих вариантов был известен по «Сборнику Кирши Данилова», но в 1900 году этот же скомороший сюжет А.Д. Григорьев записал от Марии Дмитриевны Кривополеновой. Собирательница О.Э. Озаровская сообщала: «Любимой же перегудкой нашей бабушки является «Кострюк». Стоит только подмигнуть ей да сказать: «Пировал-жировал государь...», как бабушка зальется смехом. В это мгновение схвачена бабушка фотографическим аппаратом двух художниц (имеются в виду сохранившиеся две самые знаменитые фотографии

сказительницы.– В. К.). «Кострюк» тоже, очевидно, сложен насмешливыми скоморохами, утверждающими, что любимый шурин Ивана Васильевича будто бы оказался не Кострюком Темрюковичем, а переодетой женщиной – его сестрой, Марфой Темрюковной».

4. Чистых скоморошин сохранилось лишь несколько. Правда, существует предположение (такова версия А.А. Горелова и некоторых других советских исследователей), что весь «Сборник Кирши Данилова» -это выдающийся литературный памятник русских скоморохов, а сам легендарный Кирша Данилов – певец-скоморох, записавший свой собственный репертуар. И действительно, добрую половину песен «Сборника Кирши Данилова» можно отнести к скоморошинам или скоморошьим обработкам былинных сюжетов. «Щелкан Дудентьевич», «Мастрюк Темрюкович», «Агафонушка», «Старец Игренищо», «Чурилья-игуменья» – все это классические скоморошьи былины. Но есть в сборнике и типичные скоморошины. Одна из них – «Про гостя Терентишша» («Терентий-муж»).

«Нет сомнений,– отмечают современные исследователи Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий,– что скоморошина о госте Терентище – сравнительно поздний пересказ распространенной бытовой сказки о неверной жене... В отличие от скоморошины в сказке обман неверной жены обычно разоблачают батрак, солдат, прохожий, а не скоморохи. Это дает лишнее основание считать остроумную былинную обработку популярного сказочного сюжета творчеством веселых скоморохов».

5. Записи «Сборника Кирши Данилова» датируются серединой XVIII века, а через полтора столетия две скоморошины, вошедшие в него, «Мастрюк Темрюкович» и «Усы, удалы молодцы», были вновь записаны от Марии Дмитриевны Кривополеновой. И оба варианта, отстоящие друг от друга на полтора столетия и на тысячи километров (скоморошины Кирши Данилова бытовали на Урале, а Кривополеновой – на Пинеге), поражают не меньшей степенью близости, чем былины, записанные П.Н. Рыбниковым и А.Ф. Гильфердингом с разрывом в десятилетие от одних и тех же сказителей. Такова поразительная «устойчивость» произведений устного народного творчества, благодаря которой они сохранялись веками и даже тысячелетиями.

Конечно, не без потерь. Какие-то реалии времени забывались или же переосмыслялись. Так, в скоморошине «Усы, удалы молодцы» в «Сборнике Кирши Данилова» точно указывается место, где разбойники-усы проявились на Руси,– Новое Усолье Строгановых, и даже называется имя атамана – Гришка-Мурышка, лицо вполне реальное. В 40-е годы XVII века атаман Гришка Мурышка прославился разбоями на Волге, его имя встречается в царской грамоте 1645 года. Вполне возможно, что славился он при этом и своими усами, которым со временем предстояло стать главным действующим лицом скоморошины, отстранив самого атамана. В «Усишшах» М.Д. Кривополеновой никакого Гришки-Мурышки уже нет, остались одни усы, как олицетворение былой вольницы, а сама песня приняла еще более пародийный характер, близкий к «небылицам».

6. Скоморохи, как и калики перехожие, тоже создали апологию своего искусства – былину «Вавило и скоморохи», смысл которой сводится к тому, что они не простые люди, скоморохи, их искусство может творить чудеса, они могут переиграть царя Собаку и возвести на престол своего Вавилу.

Замечательно воссоздана в былине игра в скомороший гудочек. Только нужно учитывать при этом, что гудок – вовсе не дудка, а трехструнная древнерусская скрипка, которую гудошники

держали не на плече, а на колене. В былине скоморохи Кузьма с Демьяном предлагают чаду Вавиле присоединиться к ним, стать скоморохом, на что он отвечает:

Я веть песён петь да не умею,

Я в гудок играть да не горазён.

И тогда происходит чудо: Кузьма с Демьяном начинают играть и в руках Вавилы понюгальцё – погонялка, пастуший кнут превращается в смычок (а и стало тут погудалъцё), а обыкновенные крестьянские вожжи превращаются в струны (ишша стали шелковые струнки). Вавило своей игрой на этом импровизированном инструменте начинает творить чудеса...

Былина «Вавило и скоморохи» (в первоисточнике «Путешествие Вавилы со скоморохами») известна в единственном варианте, записанном А.Д. Григорьевым, а позже О.Э. Озаровской от Марии Дмитриевны Кривополеновой. Случай уникальнейший в истории фольклористики.

7. «Былина представляет собою соединение пародии и небылицы,– отмечал В.Я. Пропп.– В основе пародийной части лежат, возможно, не сохранившиеся в русской эпической традиции сюжеты о борьбе поляниц-богатырш. В пародии рассказывается о некоем городе, которым управляла княгиня-льдина: со «смертью» льдины, растаявшей весной, между обитательницами города происходят раздоры, которые выливаются в целое побоище. Как обычно в русских былинных пародиях, это побоище изображается как кухонная драка».

Но помимо эпических мотивов – предполагаемых или явных – в этой небылице отражены черты чисто северные, беломорские. Это само таяние льдины на Петров день (29 июня), описание побоища щиками-юхватами (штыками-ухватами) и палицами-мутовками (палками для взбалтывания), а главное – описание черненого, изукрашенного поморского корабля, на носу которого «росматривщицок» – серый волк, на корме «росправщицок» – бык, а в середине «роспорядчицок» – заяц.

8. Небылицы назывались в народе также «погудками» или же «скокливыми» песнями, и исполнялись они когда-то с приплясом под скоморошьи гудки. Гудок – это вовсе не дудка, а трехструнная древнерусская скрипка, которую гудошники держали на колене. Во всех этих скоморошинах и небылицах использован один и тот же прием «перевертывания» обычных ситуаций, доведения их до полной нелепости. Реальный мир, реальные ситуации, нанизанные друг на друга без всякой причинной связи, доведенные до абсурда, на глазах превращаются в небыль. Подобный же прием народной сатиры широко используется в сказках-небылицах, а также в «притчах смехотворных» древнерусской литературы.

В «Небылице про щуку из Белого озера», как и в «Небылице про льдину», помимо традиционных образов большое значение имеет местный колорит. Это небылица именно поморов, веками снабжавших царские «пированья-столованья» рыбой и создавших свою пародию на такие «почесные пиры».

9. Былинную форму могли принимать не только древнейшие языческие мифы, народные легенды, сказки, предания, но и чисто «книжные» сюжеты, почерпнутые, как правило, из средневековой апокрифической литературы. Так возникло большинство духовных стихов: про Анику-воина, «Голубиная книга», «Сон богородицы», «Михаил Архангел» и многие другие. Один

из таких апокрифов – «Сказание о царе Соломоне и его неверной жене Соломаниде» – лег в основу былины «Соломан и Василий Оку-лович». «Это,– подчеркивает А.М. Астахова,– довольно обычный путь сложения былин-новелл на основе прозаических рассказов полукнижного, полународного характера, ходивших в устной передаче. При этом все исследователи отмечают превосходство народных былин о Соломане над их предполагаемыми источниками».

10. В основе духовных стихов всегда лежат глубокие нравственные или этические идеи, поражающие, по словам Ф.И. Буслаева, «глубиною мысли и высоким поэтическим творчеством». И в этом смысле героев их действительно можно назвать духовными богатырями. Таковы образы двух братьев – бедного и богатого Лазаря,– ставшие олицетворением бедности и богатства; таков образ Егория Храброго – пример духовной непоколебимости, стойкости; таков же и не менее популярный образ Алексея – человека божия, привлекшего внимание А.Н. Радищева, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского...

Если определение первоисточников былинных сюжетов до сих пор вызывает споры, то с духовными стихами в этом вопросе все обстоит гораздо проще. Здесь первоисточники налицо. И тем не менее ни один духовный стих не соответствует своему же «оригиналу». П.В. Киреевский, первый собиратель и издатель народных духовных стихов, далеко не случайно подчеркивал, что «это не церковные гимны и не стихотворения, составленные духовенством в назидание народу, а плоды народной фантазии, носящие на себе и все ее отпечатки».

В основе духовного стиха об Анике-воине лежит известный памятник древнерусской литературы «Прения Живота и Смерти». Но в книжном первоисточнике ни Живот (жизнь)(Конрад: да не ЖИЗНЬ, а ИМУЩЕСТВО. См. текст былины. А раз так, то аналогия очень сомнительна), ни Смерть не принимают человеческих образов, такое олицетворение произошло только в устном народном творчестве, где Живот стал Аникой-воином, а Смерть чудом чудным и дивом дивным.

Впервые стихотворение об Анике-воине было опубликовано в 1840 году в журнале «Современник» под заглавием «Простонародный рассказ», а затем вошло в «Собрание народных песен П. В. Киреевского» и в другие фольклорные издания. Один из наиболее «былинных» вариантов стиха был записан в 1860 году П.Н. Рыбниковым.

11. Былины вполне могли быть своеобразными «распетыми» легендами или же сказками, лубочными повестями. Еще один источник образования поздних былин, возникавших в XVII-XIX веках,– народные местные предания.

Одной из таких былин-легенд является «Рахта Рагнозерский», бытовавшая в Пудожском крае, где находится Рагнозеро, озеро – особое, заповедное, сам великий князь московский запретил ловить мелкою там рыбушку.

Былина известна в двух вариантах. В первом Рахта Рагнозерский изображается охотником, о необычайной силе которого узнает Иван Грозный. Рахту приглашают в Москву, где он побивает всех княжеских богатырей или же (как в других вариантах) подступившего к Москве врага-насильника. Возвращаясь домой, он просит Ивана Грозного сделать заповедным Рагнозеро (такие особые, неприкосновенные, охраняемые заповедью леса и озера издревле существовали на Руси). Но есть другой вариант сюжета, развивающий тему неверной жены. В этом случае озеро является источником необыкновенной силы Рахты. Жена Рахты выведывает тайну его силы и сообщает любовнику – атаману разбойников, которому только таким образом удается связать

Рахту. Но сын Рахты перерезает веревки. Искупавшись в озере, Рахта снова набирает силу и расправляется с женой и разбойником.

Агафонушка[4]

А и на Дону, Дону, в избе на дому

На крутых берегах, на печи на дровах,

Высока ли, высота потолочная,

Глубока глубота подпольная,

А и широко раздолье – перед печью шесток,

Чистое поле – по подлавечью,

А и синее море – в лохани вода.

А у белова города, у жорнова,

А была стрельба веретенная,

А и пушки-мушкеты горшечныя,

Знамена поставлены помельныя,

Востры сабли – кокошники,

А и тяжкие палицы – шемшуры1),

А и те шешумры были тюменских баб.

А и билася-дралася свекры со снохой,

Приступаючи ко городу ко жорнову,

О том пироге, о яшном мушнике,

А и билися-дралися день до вечера,

Убили оне курицу пропашшую.

А и на ту-та на драку – великой бой

Выбежал сильной-могуч богатырь,

[4] Текст публикуется по изданию: Сборник Кирши Данилова, № 27.

Молодой Агафонушка Никитин сын.

А и шуба-та на нем была свиных хвостов,

Болестью опушена, комухой2) подложена,

Чирьи да вереды – то пуговки,

Сливныя коросты – то петельки.

А втапоры старик на палатех лежал,

Силу-ту смечал, во штаны на....,

А старая баба, умом молода,

Села ..... сама песни поет.

А слепые бегут, спинаючи гледят;

Безголовые бегут, оне песни поют,

Бездырыя бегут – попёрдовают,

Безносый бегут – понюхивают,

Безрукой втапоры клеть покрал,

А нагому безрукай за пазуху наклал,

Безъязыкова, тово на пытку ведут;

А повешены – слушают,

А и резаной – тот в лес убежал.

На ту же на драку – великой бой

Выбегали тут три могучие богатыри:

А у первова могучева богатыря

Блинами голова испроломана,

А другова могучева богатыря

Соломой ноги изломаны,

У третьева могучева богатыря

Кишкою брюхо пропороно.

В то же время и в тот же час

На море, братцы, овин горит

С репою, со печонкою.

А и середи синя моря Хвалынскова

Выростал ли тут крековист дуб,

А на том на сыром дубу крековостом

А и сивая свинья на дубу гнездо свила,

На дубу гнездо свила,

И детей она свела – сивиньких поросяточок,

Поросяточок полосатиньких.

По дубу оне все разбегалися,

А в воду оне гледят – притонути хотят,

В поле гледят – убежати хотят.

А и по чистому полю карабли бегут,

А и серой волк на корме стоит,

А красна лисица потакивает:

– Хоть вправо держи, хоть влево, затем куда хошь.-

Оне на небо гледят, улетети хотят.-

Высоко ли там кобыла в шебуре3) летит.

А и чорт ли видал, что медведь летал,

Бурою корову в когтях носил.

В ступе-де курица объегнилася,

Под шестком-та карова еицо снесла,

В осеку4) овца отелилася.

А и то старина, то и деянье.

1) Шемшура (шамшура, шешумра) - род шапочки (волосник), надеваемой под платок замужними женщинами.

2) Комуха – лихорадка.

3) Шебура (шабура) – домотканая грубая ткань; рабочая одежда из этой ткани.

4) Осек – выгон или участок земли, огороженный поваленными деревьями с несрубленными сучьями.

Щелкан Дудентьевич[5]

А и деялося в Орде,

Передеялось в Болшои:

На стуле золоте,

На рытом бархоте1),

На червчатои камке2)

Сидит тут царь Азвяк,

Азвяк Таврулович;

Суды разсуживает

И ряды разряживает

По бритым тем усам,

По тотарским тем головам,

По синим плешам.

Шурьев царь дарил,

Азвяк Таврулович,

Городами стольными:

Василья на Плесу,

Гордея к Вологде,

Ахрамея х Костроме,

Одново не пожаловал -

[5] Текст былины-скоморошины публикуется по изданию: Сборник Кирши Данилова, № 4.

Любимова шурина

Щелкана Дюдентевича.

За что не пожаловал!

И за то он не пожаловал,-

Ево дома не случилося.

Уезжал-та млад Щелкан

В дальную землю Литовскую,

За моря синея;

Брал он, млад Щелкан,

Дани-невыходы,

Царски невыплаты.

С князей брал по сту рублев,

З бояр по пятидесят,

С крестьян по пяти рублев;

У которова денег нет,

У тово дитя возмет;

У которова дитя нет,

У того жену возмет;

У котораго жены-та нет,

Тово самово головой возмет.

Вывез млад Щелкан

Дани-выходы,

Царския невыплаты;

Вывел млад Щелкан

Коня во сто рублев,

Седло во тысячю.

Узды цены ей нет:

Не тем узда дорога,

Что вся узда золота,

Она тем, узда, дорога –

Царская жалованье,

Государево величество.

А нельзя, дескать, тое узды

Не продать, не променять

И друга дарить3),

Щелкана Дюдентевича.

Проговорит млад Щелкан,

Млад Дюдентевич:

– Гои еси, царь Азвяк,

Азвяк Таврулович!

Пожаловал ты молодцов,

Любимых шуринов,

Двух удалых Борисовичев,

Василья на Плесу,

Гордея к Вологде,

Ахрамея х Костроме,

Пожалуй ты, царь Азвяк,

Пожалуй ты меня

Тверью старою,

Тверью богатою,

Двомя братцами родимыми,

Дву удалыми Борисовичи.–

Проговорит царь Азвяк,

Азвяк Таврулович:

– Гои еси, шурин мои

Щелкан Дюдентевич,

Заколи-тка ты сына своего,

Сына любимова,

Крови ты чашу нацади,

Выпей ты крови тоя,

Крови горячия,

И тогда я тебе пожалою

Тверью старою,

Тверью богатою,

Двомя братцами родимыми,

Дву удалыми Борисовичи! -

Втапоры млад Щелкан

Сына своего заколол,

Чашу крови нацадил,

Крови горячия,

Выпил чашу тоя крови горячил.

А втапоры царь Азвяк

За то ево пожаловал

Тверью старою,

Тверью богатою,

Двомя братцы родимыми,

Два удалыми Борисовичи,

И в те поры млад Щелкан,

Он судьею насел

В Тверь-ту старую,

В Тверь-ту богатую.

А немного он судьею сидел:

И вдовы-та безчестити,

Красны девицы позорити,

Надо всеми наругатися,

Над домами насмехатися.

Мужики-та старыя,

Мужики-та богатыя,

Мужики-та посацкия,

Оне жалобу приносили

Двум братцам родимыем,

Двум удалым Борисовичем.

От народа они с поклонами пошли,

С честными подарками,

И понесли оне честныя подарки

Злата-серебра и скатнова земчюга.

Изошли ево в доме у себя,

Щелкана Дюдентевича,-

Подарки принял от них,

Чести не воздал им.

Втапоры млад Щелкан

Зачванелся он, загорденелся,

И оне с ним раздорили,

Один ухватил за волосы,

А другой за ноги,

И тут ево разорвали.

Тут смерть ему случилася,

Ни на ком не сыскалося.

1) Рытый бархат – бархат с вытесненным по ворсу рисунком

2) Червчатая камка – багряная, пурпурная шелковая ткань с узорами

3) По предположению исследователей, эти два слова читаются несколько иначе: не «друга дарить», а «даруга дарить», т.е. сборщика дани, которому были вынуждены дарить дорогие подарки

Кострюк[6]

А во Таулий во городи,

А да во Таулий хорошом-е

А поизволил наш царь-государь,

Да царь Иван Васильевиць,

А поизволил жонитисе

Да не у нас, не у нас на Руси,

Да не у нас в каменной Москвы,

Да у царя в Большой Орды,

Да у его на родной сестры,

Да на Марьи Демрюковны.

Собиралса наш царь-государь,

Да собиралса с цесным поездом;

Да и оттуль и поход уцинил,

Да и оттуль ис каменной Москвы.

Ишше здраво стал государь

Да через реки быстрые,

Да через море синее,

Да через поле цистоё

К Кострюку в Бальшу Орду,

К Кострюку сыну Демрюковицю.

Говорил его дядюшка

Да Микита Родомановиць:

– Уш ты ой еси, Кострюк-Демрюк!

Ишша мы к табе (так) пришли

[6] Публикуемый текст записан от М.Д. Кривополеновой в 1900 году в деревне Шотогорка на реке Пинеге А.Д. Григорьевым: Архангельские былины, т. 1, № 80.

Да не с боем, не с дракою;

Да мы прышли к тобе посвататьсе

Да у тобя на родной сестры,

Да на Марьи Демрюковны.-

Они сватались, сосваталисе,

Да слово на слово положилисе.

Собиралса наш царь-государь

За столы-те за дубовые,

Да за есвы сахарные,

Да за напитоцъки стоялые.

Пировал-жыровал государь,

Говорыл его дядюшка

Ишше Микита Родомановиць:

– Уш ты ой еси, Кострюк-Демрюк!

Об цем слово было молвленоё

По рукам удареноё? -

А Кострюк поскакиваё,

А Кострюк поплясываё;

Он тому не ослышылсе;

Он выводит родну сестру

Да ино Марью Демрюковну

Да за нашего прозвителя царя

Да за Ивана-та Васильевиця,

Да за столы-ти за дубовые,

Да за напитоцьки стоялые.

А пировал-жыровал государь;

А оттуль и поход уцинил,

Да оттуль из Бальшой Орды.

Ишше здраво стал государь

Через поле цистоё,

Церес море синее,

А церес реки быстрые.

Ишше здраво стал государь

Во свою-ту в каменну Москву

Да он ко церкви соборною

Да ко манастырям церковные.

Да они веньцями повеньцялисе

Да перснями поменялисе.

Ешше здраво стал государь

Да во свою-ту в каменну Москву

За столы-те за дубовые,

Да за есвы сахарные,

За напитоцьки стоялые.

Да пировал-жыровал государь.

Говорил его шурин тут

Кострюк Демрюков сын:

– Уш ты ой, царь-государь!

У вас есь ли в каменной Москвы,

У вас есь ли таковы борьци

А со мной поборотисе,

А с Кострюком поводитисе? -

А говорил тут царь-государь,

Да царь Иван Васильевиць:

– А любимой дядюшка!

Уш ты выйди на улоньку;

Да, Микита Родомановиць,

Затруби-ко в золотую трубу,

Щобы цюли за рекой за Москвой.-

Как выходит тут дядюшка

Да Микита Родомановиць,

Затрубил в золотую трубу,

Да уцюли за рекой за Москвой,

А учули три братёлка:

А первой брат Мишенька,

А второй брат Гришенька,

Да третей брат Васенька.

Говорил как тут царь-государь:

– А любимой шурин мой!

А у миня питья на столе,

А у миня борьцы на дворе,

Когда есь вера боротисе

Да ис дани, ис пошлины

Да из накладу великого.-

А Кострюк поскакиваёт,

А Кострюк поплясывает;

А Кострюк церес стол скоцил,

А Кострюк питья сплескал.

А говорыла как родна сестра

Да ино Марья-та Демрюковна:

– Уш ты ой еси, Кострюк-Демрюк!

А не ходи ты боротисе

А ты из дани, ис пошлины

Да из накладу великого.-

А Кострюк поскакиваёт;

Он тому не ослышитьсе;

Он выходит на улоньку,

На крылецюшко красное,

А о перила облегаитьсе.

А говорил как Мишенька:

– Уш ты ой еси, царь-государь!

Мне-ка не с ним боротисе.–

Говорыл как Гришенька:

– Уш ты еси, царь-государь!

Мне-ка не с ким руки патрать.–

Да говорыл как Васенька:

– Уш ты ой еси, царь-государь!

Уш бы рад я боротисе,

С Кострюком бы поводитисе,-

Да я топёря со царёва кабака.

Да болит буйна голова,

Да шипит ретиво серьцё.-

А наливают как цяру вина,

Да не велику, цетьвертинною;

А подавают Васеньки.

Да выпивает Васенька:

– Да спасибо тибе, царь-государь!

А опохмёлил буйну голову,–

А не окатил ретива серьця,

А не звеселил добра молотьця.-

А наливают вторую цару,

Да не велику, цетьвертинною;

А подавают Васеньки,

А выпивает Васенька:

– Да спасибо тебе, царь-государь,

Да царь Иван Васильевиць!

А опохмёлил буйну голову

А окатил ретиво серцё,-

А не звеселил добра молотьця.-

Наливают третюю чару;

Да не велику, цетьвертинною;

Подавают Васеньки,

А выпивает Васенька:

– Да спасибо тибе, царь государь!

А опохмелил буйну голову,

А окатил ретиво серьцё,

Да звеселил добра молотьця;

Уш я рат нынь боротисе

Да с Кострюком-то поводитисе

Я ис дани, ис пошлины,

Из накладу великого.-

Они стали боротисе.

А в первы Кострюк бросил,

А вторы Кострюк бросил.

А как Васенька-то Хроменькой,

Он на ношку-ту справилса,

А за лопотья-ти зграбилса,

Он прырвал лапотьё всё.

А на руках он потрёхиваё,

До земли не допускиваё.

А ишше думали: Кострюк-Демрюк,

А ино Марфа Демрюковна.

Да она проклиналасе,

Да она заклиналасе: –

Да не дай бог бывати здесь,

А у царя в каменной Москвы

Да не детям бы, не внуцятам,

Да не внуцятам, не павнуцятам1).

1) Примечание сказительницы: «Она всё воевала за брата, мущину».

Терентий-муж[7]

В стольном Нове-городе,

Было в улице во Юрьевской,

В слободе было Терентьевскои,

А и жил-был богатой гость,

А по именю Терентишша.

У нево двор на целой версте,

А кругом двора железной тын,

На тынинки по маковке,

А и есть по земчюженке;

Ворота были вальящетыя,

Вереи хрустальный,

Подворотина – рыбеи зуб.

Середи двора гридня стоит,

Покрыта седых бобров,

Потолок черных соболей,

А и матица-та валженая,

Была печка муравленая,

Середа была кирпичная1),

[7] Текст публикуется по изданию: Сборник Кирши Данилова, № 2

А на середи кроватка стоит,

Да кровать слоновых костей,

На кровати перина лежит,

На перине зголовье лежит,

На зголовье молодая жена Авдотья Ивановна.

Она с вечера трудна-больна,

Со полуночи недужна вся:

Расходился недуг в голове,

Разыгрался утин2) в хрепте,

Пустился недуг к серцу,

А пониже ея пупечка

Да повыше коленечка,

Межу ног, килди-милди.

Говорила молодая жена Авдотья Ивановна: –

А и гои оси, богатой гость,

И по именю Терентишша,

Возми мои золотые ключи,

Отмыкай окован сундук,

Вынимай денег сто рублев,

Ты поди дохтуров добывай,

Волхи-та спрашивати.-

А втапоры Терентишша,

Он жены своей слушелся,

И жену-та во любви держал.

Он взял золоты ее ключи,

Отмыкал окован сундук,

Вынимал денег сто рублев

И пошел дохтуров добывать.

Он будет, Терентишша,

У честна креста Здвиженья3),

У жива моста калинова

Встречю Терентишшу веселый скоморохи.

Скоморохи – люди вежлевыя,

Скоморохи очесливыя

Об ручку Терентью челом:

– Ты здравствую, богатой гость,

И по именю Терентишша!

Доселева те слыхом не слыхать,

И доселева видом не видать,

А и ноне ты, Терентишша,

И бродишь по чисту полю,

Что корова заблудящая,

Что ворона залетящая.-

А и на то-то он не сердитца,

Говорит им Терентишша:

– Аи вы гои, скоморохи-молодцы!

Что не сам я, Терентеи, зашол,

И не конь-та богатова завес,

Завела нужда-бедность б.....

У мене есть молодая жена

Авдотья Ивановна,

Она с вечера трудна-больна,

Со полуночи недужна вся:

Расходился недуг в голове,

Разыгрался утин в хрепте,

Пустился недуг к сердцу,

Пониже ее пупечка,

Что повыше коленочка,

Между ног, килди-милди,

А хто бы-де недугам пособил,

Хто недуги бы прочь отгонил

От моей молодой жены,

От Авдотьи Ивановны,

Тому дам денег сто рублев

Без единыя денешки.-

Веселыя молодцы догадалися,

Друг на друга оглянулися,

А сами усмехнулися:

– Аи ты гои еси, Терентишша,

Ты нам что за труды заплатишь? -

– Вот вам даю сто рублев! –

Повели ево, Терентишша,

По славному Нову-городу,

Завели ево, Терентишша,

Во тот во темнои ряд,

А купили шелковой мех,

Дали два гроша мешок;

Пошли оне во червленнои ряд,

Да купили червленой вяз,

А и дубину ременчетую –

Половина свинцу налита,

Дали за нее десеть алтын.

Посадили Терентишша

Во тот шелковой мех,

Мехоноша за плеча взял.

Пошли оне, скоморохи,

Ко Терентьеву ко двору.

Молода жена опасливая

В окошечко выглянула:

– Аи вы гои еси, веселыя молодцы,

Вы к чему на двор идете,

Что хозяина в доме нет? –

Говорят веселыя молодцы:

– А и гои еси, молодая жена, Авдотья Ивановна,

А и мы тебе челобитье несем

От гостя богатова,

И по имени Терентишша! –

И она спохватилася за то:

– Аи вы гои еси, веселыя молодцы,

Где ево видели,

А где про ево слышали? -

Отвечают веселыя молодцы:

– Мы ево слышали,

Сами доподлинна видели

У честна креста Здвиженья,

У жива моста калинова,

Голова по собе ево лежит,

И вороны в жопу клюют.–

Говорила молодая жена Авдотья Ивановна:

– Веселыя скоморохи!

Вы подите во светлую гридню,

Садитесь на лавочки,

Поиграйте во гусельцы

И пропоите-ка песенку

Про гостя богатова,

Про старово б..... сына,

И по именю Терентишша,

Во дому бы ево век не видать! -

Веселый скоморохи

Садилися на лавочки,

Заиграли во гусельцы,

Запели оне песенку.

«Слушай, шелковой мех

Мехоноша за плечами,

А слушай, Терентеи-гость,

Что про тебя говорят,

Говорит молодая жена Авдотья Ивановна

Про стара мужа Терентишша,

Про старова б..... сына:

«Во дому бы тебе век не видать!»

Шевелись, шелховои мех

Мехоноша за плечами,

Вставай-ка, Терентишша,

Лечить молодую жену!

Бери червленой вяз,

Ты дубину ременчетую,

Походи-ка, Терентишша,

По своей светлой гридни

И по середи кирпищетои

Ка занавесу белому,

Ко кровати слоновых костей,

Ко перине ко пуховыя,

А лечи-ка ты, Терентишша,

А лечи-ка ты молоду жену

Авдотью Ивановну!»

Вставал же Терентишша,

Ухватил червленой вяз,

А дубину ременчетую –

Половина свинцу налита,

Походил он, Терентишша,

По своей светлой гридне

За занавесу белую,

Ко кровати слоновых костей.

Он стал молоду жену лечить,

Авдотью Ивановну:

Шлык4) з головы у нея сшиб,

Посмотрит Терентишша

На кровать слоновых костей,

На перину на пуховую,-

А недуг-ат пошевеливаитца

Под одеялом соболиныем.

Он-та, Терентишша,

Недуга-та вон погнал

Что дубиною ременчетою,

А недуг-ат непутем в окошко скочил,

Чуть головы не сломил,

На корачках ползает,

Едва от окна отполоз.

Он оставил, недужишша,

Кавтан хрушетои камки,

Камзол баберековои5),

А и денег пять сот рублев.

Втапоры Терентишша

Дал еще веселым

Другое сто рублев

За правду великую.

1) Дается сатирическое описание зажиточного купеческого двора: ворота вальящетыя – из литого железа; вереи хрустальныя – столбы, на которые навешиваются ворота; подворотина – рыбеи зуб – доска, которой закрывается дырка под воротами; середи двора гридня стоит – особое помещение при княжеских дворах, в которых проводили время князь с дружиной; матица-та валженая – центральная балка, на которую настилается потолок, из многолетней лиственницы; была печка муравленая – покрытая глазурью; середа была кирпичная – передний, гостиный угол избы.

2) Утин – прострел в пояснице.

3) В былине-скоморошине приводятся реальные названия улиц средневекового Новгорода: В столном Нове-городе, было в улице во Юрьевской.., У честна креста Здвиженья, у жива моста калинова. Причем топография довольно точна: церковь Воздвижения находилась в Новгороде именно на Юрьевской улице

4) Шлык– женский головной убор, род повойника (стеганая высокая шапочка, по которой повязывается платок)

5) Баберековый – из шелковой ткани с золотыми или серебряными узорами

Усишша[8]

Ишша за рекой, рекой было четыре двора,

А четыре двора да из ворот и в ворота.

Ишша жил такой кресьянин:

Он и солоду не ростил, завсегда пиво варил;

[8] Текст публикуется по изданию: Озаровская О.Э. Бабушкины старины. М., 1922, с. 68.

Он ведь денег не кует, да деньги в займи дает.

Ишша шли таки Усишша да атаманишша;

Стуки-стуки, стуки-стуки, стуки-стуки на крыльце:

Бряки-бряки, бряки-бряки, бряки-бряки за кольце;

– Ты ставай-ко, хозяин, отпирай ворота;

– Ты ставай-ко, хозяйка, добывай огня.-

Как хозяип-от встават да ворота им отпират,

Как хозяйка-та встават да огонь им достават.

– Ишша што бы нам, хозяин, как попить бы, нам пойсь,

А попить бы нам, поись да нам позавтракати? -

А хозяин-от идет да ишше куль толокна несёт,

А хозяйка-та идет да им ушат молока несет.

Они по кусу хватили – призаправилисе;

По другому-ту хватили – богу кланялисе.

– Да спасибо те, хозяин, на овсяном толокни;

Да спасибо те, хозяюшка, на кислом молоки.

Ишша ты бы нас, хозяин, напоил бы, накормил,

Напоил бы, накормил да животом нас наделил.–

Да хозяин-от божитьсе:

«Правда денёк нет»;

Да хозяйка-та ратитце:

«Нам негде взеть».

– Ты поди, Самсон, да колупай заслон;

Вы кладите-ко хозяину пылу под дыру:

Ишша скажо хозяин особину1) свою.-

Да хозяин-от идё да свою собину несет,

Да хозяйка-та бежит да достальни деньги ташшыт.

Они делили, розделили по петидесят рублёв,

Да большому-ту Усишшу девяносто рублёв.

– Да спасибо те, хозяин: напоил нас, накормил,

Напоил нас, накормил да животом нас наделил.

Мы и дворы твои знаем, опять зайдем.

1) Особина - особо запрятанные деньги

Вавило и скоморохи[9]

У цесной вдовы да у Ненилы

А у ней было цядо Вавило.

А поехал Вавилушко на ниву

Он веть нивушку свою орати,

Ишша белую пшоницю засевати:

Родну матушку хоцё кормити.

А ко той вдовы да ко Ненилы

Пришли люди к ней веселые,

Веселые люди не простые,

Не простые люди, скоморохи.

– Уш ты здрастуёш, цесна вдова Ненила!

У тя где цядо да нынь Вавило? -

– А уехал Вавилушко на ниву

Он веть нивушку свою орати,

Ишша белую пшоницю засевати:

Родну матушку хоце кормити.–

Говорят как те веть скоморохи:

[9] Текст публикуется по первой записи 1900 года: Григорьев А.Д. Архангельские былины, т. 1, № 85.

– Мы пойдём к Вавилушку на ниву;

Он не идёт-ле с нами скоморошыть? –

А пошли к Вавилушку на ниву:

– Уш ты здрастуёш, цядо Вавило,

Тибе нивушка да те орати,

Ишша белая пшоница засевати,

Родна матушка тибе кормити! -

– Вам спасибо, люди весёлые,

Весёлые люди, скоморохи;

Вы куды пошли да по дороги? -

– Мы пошли веть тут да скоморошыть;

Мы пошли на инишшоё цярьсво

Переигрывать царя Собаку,

Ишше сына его да Перегуду,

Ишша зятя его да Пересвета,

Ишша доць его да Перекрасу.

Ты пойдём, Вавило, с нами скоморошыть! –

Говорило то цядо Вавило:

– Я веть песен петь да не умею,

Я в гудок играть да не горазён.-

Говорыл Кузьма да со Демьяном:

– Заиграй, Вавило, во гудоцик

А во звоньцятой во переладец;

А Кузьма з Демьяном припособит.-

Заиграл Вавило во гудоцик

А во звоньцятой во переладець,

А Кузьма з Демьяном припособил.

А того веть цяда у Вавила

А было в руках-то понюгальцё1)–

А и стало тут погудальцё;

Ишша были в руках у его да тут веть вожжи –

Ишша стали шелковые струнки,

Ишше то цядо да тут Вавило

Видит, люди тут да не простые,

Не простые люди-те, светые;

Он походит с има да скоморошить.

Он повёл их да веть домой жа.

Ишша тут цесна вдова да тут Ненила

Ишша стала тут да их кормити.

Понесла 'на хлебы-те ржаные -

А и стали хлебы-те пшоные;

Понесла 'на куру-ту варёну -

Ишша кура тут да веть взлетела,

На пецьней столб села да запела.

Ишша та вдова да тут Ненила

Ишша видит, люди тут да не простые,

Не простые люди-те, светые,

И спускат Вавила скоморошыть.

А идут скоморохи по дороги.

На гумни мужык горох молотит.

– Тобе бох помошь, да веть кресьянин,

На бело горох да молотити! -

– Вам спасибо, люди весёлые,

Весёлые люди, скоморохи;

Вы куда пошли да по дороги? -

– Мы пошли на инишьшоё цярьсво

Переигрывать царя Собаку,

Ишша сына его да Перегуду,

Ишша зятя его да Пересвета,

Ишша доць его да Перекрасу.-

Говорыл да тот да веть кресьянин:

– У того царя да у Собаки

А окол двора да тын залёзной,

А на кажной тут да на тыциньки

По целовецей-то сидит головки,

А на трёх веть на тыцинках

Ишша нету целовецих-то тут головок;

Тут и вашим-то да быть головкам.-

– Уш ты ой еси, да ты кресьянин!

Ты не мог добра нам веть (и) здумать,

Ишша лиха ты бы нам не сказывал.

Заиграй, Вавило, во гудоцик

А во звоньцятой во переладець;

А Кузьма з Демьяном припособят.-

Заиграл Вавило во гудоцик,

А Кузьма з Демьяном припособил:

Полетели голубята-ти стадами,

А стадами тут да табунами;

Они стали у мужика горох клевати.

Он веть стал их тут кицигами2) щыбати;

Зашибал, он думат, голубят-то,–

Зашибал да всех своих ребят-то.

– Я веть тяшко тут да согрешыл веть:

Ети люди шли да не простые,

Не простые люди-те, светые,–

Ишша я веть им да не молилса.-

А идут скоморохи по дороги.

А на стрецю им идё мужык горшками торговати.

– Тобе бог помошь да те, кресьянин,

Ай тибе горшками торговати! -

– Вам спасибо, люди весёлые,

Весёлые люди, скоморохи;

Вы куды пошли да по дороги? -

– Мы пошли на инишыпоё цярьсво

Переигрывать царя Собаку,

Ишша сына его да Перегуду,

Ишша зятя его да Пересвета,

Ишша доць его да Перекрасу.-

Говорыл да тот да веть кресьянин:

– У того царя да у Собаки

А окол двора да тын залезной,

А на кажной тут да на тыциньки

По целовецей-то седит головки,

А на трёх-то веть на тыцыньках

Нет целовецих да тут головок;

Тут вашим да быть головкам.-

– Уш ты ой еси, да ты кресьянин!

Ты не мог добра да нам веть здумать,

Ишша лиха ты бы нам не сказывал.

Заиграй, Вавило, во гудоцик

А во звоньцятой во переладець;

А Кузьма з Демьяном припособит.-

Заиграл Вавило во гудоцик

А во звоньцятой во переладець,

А Кузьма з Демьяном прыпособил:

Полетели куропкй с ребами,

Полетели пеструхи с цюхарями,

Полетели марьюхи с косяцями3);

Ишша стали мужику-то по оглоблям-то садитьсе.

Он веть стал тут их да бити

И во свой веть воз да класти.

А поехал мужык да в городоцик,

Становился он да во редоцик,

Розвезал да он да свой возоцик,–

Полетели куропки с ребами,

Полетели пеструхи с цюхарями,

Полетели марьюхи с косяцями.

Посмотрел во своём-то он возоцьку,–

Ишше тут у его одны да черепоцьки.

– Ой! я тяшко тут да согрешил веть:

Ето люди шли да не простые,

Не простые люди-ти, светые,–

Ишша я веть им-гот не молилса.-

А идут скоморохи по дороги.

Ишша красная да тут девиця,

А она бильё да полоскала.

– Уш ты зрастуёш, красна девиця,

На бело холсты да полоскати! -

– Вам спасибо, люди весёлые,

Весёлые люди, скоморохи;

Вы куды пошли да по дороги? -

– Мы пошли на инишыпоё цярьсво

Переигрывать царя Собаку,

Ешше сына его да Перегуду,

Ешше зятя его да Пересвета

Ешше доць его да Перекрасу.–

Говорыла красная девиця:

– Пособи вам бох переиграти

И того царя да вам Собаку,

Ишша сына его да Перегуду,

Ишша зятя его да Пересвета

А и доць его да Перекрасу.-

– Заиграй, Вавило, во гудоцик

А во звоньцятой во переладець;

А Кузьма з Демьяном припособит.-

Заиграл Вавило во гудоцик

А во звоньцятой во переладець,

А Кузьма з Демьяном припособил.

А у той у красной у девици,

А были у ей холсты-ти веть холшовы,

Ишша стали шелковы да атласны.

Говорыт как красная девиця:

– Тут люди шли, да не простые,

Не простые люди-те, светые,–

Ишша я веть им да не молилась.–

А идут скоморохи по дороги,

А идут на инишьшоё цярьсво.

Заиграл да тут да царь Собака,

Заиграл Собака во гудоцик

А во звеньцятой во переладец,–

Ишша стала вода да прыбывати:

Ишша хоцё водой их потопити.

– Заиграй, Вавило, во гудоцик

А во звоньцятой в переладець;

А Кузьма з Демьяном прыпособит.-

Заиграл Вавило во гудоцик

И во звоньцятой во переладець,

А Кузьма з Демьяном припособил:

И пошли быки-те тут стадами,

А стадами тут да табунами,

Ишша стали ваду да упивати;

Ишша стала вода да убывати.

– Заиграй, Вавило, во гудоцик

А во звоньцятой во переладець;

А Кузьма з Демьяном припособит.-

Заиграл Вавило во гудоцик,

А во звоньцятой во переладець,

А Кузьма з Демьяном прыпособил:

Загорелось инишьшоё цярьсво

И сгорело с краю и до краю,

Посадили тут Вавилушка на цярьсво.

Он привёз веть тут да свою матерь.

1) Понюгальцё – кнут, погонялка.

2) Кичига – молотило, верхняя часть цепа.

3) Пеструхи – тетера; марьюхи – полевая птица; косачи – польник, полевая птица. (Объяснение сказительницы.)

Небылица про льдину[10]

[10] «Небылица про льдину» записана Н.Е. Ончуковым от одного из представителей знаменитого печорского рода сказителей Чупровых Григория Ивановича Чупрова (Печорские былины, № 41).

Во стольнём во городе во Туесе1),

За сильней стеной было за жорновом,

Серьди было моря ище синего,

Была тут-де льдина нонь великая,

На ей был городовоёт хозяин-от,

Нековды эта льдина-та не таела.

Серьди лета это было ё Петрова дни,

Тогда эта льдина-та ростаела,

Потонул городовоёт хозяин-от,

Да не стало во городе хозяина,

Да не стало во Туесе управителя.

Роздралисе невески со золовками,

Тима нонь саблями всё лопатами,

Тима ле щиками все юхватами,

Буёвыма палицьми мутовками,

Питья-ти ле ества они в полон взяли,

Пироги, это ле шаньги во полон взяли,

Пресно-то молоко ёни пролили,

Пресно-то молоко-то на юход ушло.

Бежит как караблицок из-за моря,

Не чернёной караблицок не кочёрненой,

Хорошо был караблик изукрашеной,

Да нос-от корма да по звериному,

Ищэ хоботы мецёт по змеиному,

На носу-ту стоит росматривщицок,

На кормы-то сидит ищэ росправщицок,

Середи как караблицька роспорядчицок:

Серой-от волк стоит розсматриват,

Да бык-от сидит ищэ прнправливат,

Медведь-от сидит роспоряжаитце,

Да заюшко тут бицевой бежит,

Лисичка из-за куста выглядыват,

Как бы зайка укрась, как бицеву сорвать.

1) Туес – берестяной короб.

Небылица про щуку из Белого озера[11]

Да худому-де горе да не привяжетса,

Да тому-то де горюшко нонь привяжитцэ,

Ищо хто жо горе можот измыкати,

После матери горе перемыкати.

Да это не чудо да не диковина,

Да я-то того-то почудне скажу,

Почудне-де скажу да подиковинне:

Да медведь-от летит да по поднебесью,

Да короткими лапами помахиват,

Да коротким хвостиком подправливат.

Да это не чудо да не диковина,

Да я-то того да почудне скажу,

Почудне-то скажу да подиковинне:

Да корабль-от бежит да по сырой земли,

Да тёмные лесы да бицевой идут.

[11] Текст «Небылицы про щуку из Белого озера» записан Н.Е. Ончуковым от 80-летнего старинщика Н.П. Шалькова (Беломорские былины, № 79)

Да это не чудо да не диковина,

Да я-т того да почудне скажу,

Почудне-то скажу да подиковинне:

Да во славном-то было да Белеозере,

Заселилася щука да преогромная,

Да робят-де хватат, да жоребят глотат,

Кабы стали-то думу да они думати:

Ищэ как-то бы щуку да нынь добыть её?

Да сковали-то уду нынь дёсить пудов,

Да надели жеребёнка тут кобыльяго,

Да бросили-де во славно Белоозеро,

Да хваталася щука преогромная,

Да немала, невелика – девяносто пуд.

Потенула-то щуку нынь на вёшной лёд,

Да бы вёшной-от лёд тут изгибаитце,

Кабы добыли-то щуку на крутой берег,

Да отсекли у щуки большу голову.

Положили-то голову на болыпи сани,

Повезли эту голову во три коня,

Повезли-то ли голову к самому царю.

Привезли-то голову к самому царю,

Собиралосе народу да много множество,

Удивилисе они да большой головы,

А отсекли у ей да праву ягодицу,

Отдавали царю ей на почесен пир,

Пировали-столовали тут челы суточки,

Кабы вси-то тут ягодицей наедалисе.

Соломан и Василий Окулович[12]

Во славном во городе во Туисе,

У ласкового князя у Владимира,

Было пированье-столованье,

Стол шел полустолом,

Пир шел полупиром,

А Рахлинско царство полуцарствием.

Собиралося народу сорок царей со царицами,

Сорок королей с королицами,

Туто все было богатыри могучие.

Собиралися на думу на великую,

Собиралися они, принапивалися,

Принапивалися, стали пьянёшеньки.

Один молодец по застолу ходит.

Все молодцы да призахвастались.

Умный хвастат да старым отцом да старой матерью,

Безумный-то хвастат да молодой женой,

Новой хвастат молодой силой,

Новой хвастат своей смёточкой,

Иной хвастат своей храбростью,

А иной хвастат золотой казной.

Один молодец по полу похадаиват,

Таку речь да выговариват:

– Все вы молодцы поженены,

[12] Публикуемый текст записан в 1942 году на Средней Печоре от А.А. Шишиловой. (Былины Печоры и Зимнего берега Белого моря, № 16).

Белы лебеди замуж повыданы,

Я один, молодец, только холост хожу,

Я холост сижу да не женат живу.

Нада мне молода жена,

Чтобы статным-статна да полновозрастна,

Волосой-косой она завесиста,

Чтобы сквозь рубашку тело виделось,

Сквозь тело да кости виделись,

Сквозь кости да мозги виделись,

Из кости в кость да мозг переливаетца,

Скопной жемчуг да пересыпаетца.–

Говорит-то Поташенька:

– За тем морем, морем синим,

У того царя предмудрого

Есть жена, право, хорошая,

Она статным-статна да полновозрастна,

Волосой, русой косой завесиста.–

Говорит-то да добрый молодец:

– Если, говорит, того дело,

Можно ли у живого мужа жену отнять? –

Поехал он за синё море торговать к царю Соломану.

Приехали они к царю Соломану,

Царя Соломана дома не случилося,

Уехал он во чисто поле.

Стали звать княгиню на корабль в гости:

– Поедем, княгиня, на корабль в гости к нам.-

Она взяла девушку-чернавушку, куфарочку свою.

На корабль пришли да стали вино пить.

Стали посылать эту девушку-чернавушку домой вскоре:

– Никуды не ходи, никому не сказывай –

Куплю тебе ленту в пятьсот рублей.

Дешева кажетца – куплю за тысячу.-

Она пошла, они отвалили домой.

Соломан-царь пришел домой,

Дома жены не случилося.

Стал поезжать за то море синее.

Говорит отец Соломану-царю:

– Насидишься ты под бабьей ..... .

Дам я тебе тридцать три богатыря с собой.–

Пошел Соломан-царь за женой,

Приехал ко синю морю.

Васиньки Поповича дома не случилося.

– Гой еси, моя молода жена,

Пойдем домой да скоро-наскоро.–

Говорит она царю Соломану:

– У вас житьё тяжёлое:

Утрях встают – долго моются,

Утрях встают – долго богу молятца,

А здесь-то житьё лёгкое:

Утрях станут – рожу не моютца,

Не моютца, богу не молятца.-

Говорит у ней царь Соломан премудрый:

– Гой еси, молода жена,

Как придет Васенька, куда я деваюся? -

Она распорола перину пуховую. –

Вот, говорит, этто.–

Сама села. Говорит она:

– Уж ты гой еси, Васенька Окулович,

Как бы был-то Соломан-царь,

Что ты над ним сделал? -

– Я бы им отсёк буйну голову.

Она и развернула перину: –

Вот это он будет! –

Говорит Соломан-царь:

– Уж ты гой еси, Васенька Окулович,

Не казнят царей, да больше вешают,

Делают рели превысокие,

Вешают три петёлки шелковые,

Перва петёлка – шелковая,

Втора петёлка – пеньковая,

Третья петёлка – липковая.-

Повели Соломана – царя премудрого вешать.

Говорит-то Соломан – царь премудрой:

– Уж ты гой еси, Васенька Окулович,

Дай мне поиграть да во турий рог,

Во турий рог да во первой након,

Проститьца мне да с гусьми-лебеди,

Проститьца мне да со белым светом,

Расстатьца мне да с добрыма людьми.–

Вот он играть стал во турий рог, плясал.

Все смотрят, радуются.

Шли, шли, шли.

Он опять стал проситьца:

– Дай мне поиграть во турий рог

Дай во второй након,–

Проститьца мне да с гусьми-лебеди,

Серы-маленьки утёнышки.-

Стал играть опеть. Все в народе скачут, пляшут.

Пришли к рельям.

Опеть стал проситьца:

– Дай мне поиграться во турий рог

Да во третей након.-

Говорит-то Васенька Окулович:

– Что это звучит-громит да мать сыра-земля? -

– Летят да гуси-лебеди,

Серы да маленьки утёныши прощатьца со мной.–

Говорит Соломан, царь премудрой:

– Ой вы гой еси, люди православные,

У кого есть стары отцы,

Стары отцы да стары матери,

Кого растить есть да дети малые,

Подьте скорей домой:

Моя смерть будет страховитая,

Страховитая да боязливая.-

На первой-то стал играть во три раза.

Так играл, те хоромы рассыпалися,

Новы-то хоромы приклонилися.

Тут прилетели гуси-лебеди:

Во-первых-то, бежит стар казак да Илья Муромец,

Во-вторых – Семен да Леховитый блад,

Во-третьих, бежит Олешенька Попович блад,

Тут всех по имени не вычиташь.

Пехнули Васеньку во петелку шелковую,

Молоду жену в петелку пеньковую,

А Поташеньку хромого в петелку липковую.

Таковы слова да говорили им:

– Два милых вместе и сводник тут.–

Вот они тут и стали и всех убили.

Оника-воин[13]

Жил-был Оника-воин,

Жил-был недолго,–

Жил триста тридцать единое лето.

И сколько он землей проеждял,

И много он землей разорял,

Божьи домы на дым спущал,

Божество-иконы на ладон.

И говорит он господу богу,

И говорит он рець похвальню,

Похвальню рець, господу противну:

– Кабы дал да мни-ка, господи,

С небеси во столби колецюшко булатно,

Повернул бы я всю землю на синё небо,

А сине небо на сыру землю:

На миру бы смерти не было,

И народ бы был весь жив.-

Да не полюбились эти реци господу богу,

Посылал он дви сумоцьки переметны:

Одну сумоцьку он клал против неба,

А другу сумоцьку клал против земли.

[13] Публикуется по изданию: Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. 2-е изд., т. 2, № 213.

И послал он своих скорыих апостолов,

И куды итти Оники, ехати.

И вот поехал Оника-воин,

Поехал цистым полем

Да широиим раздольем.

И на той пути да на дороженьке

Лежат-то дви сумоцьки переметныи

И стоят тут люди добрыи.

– Оберите-тко вы, люди добрыи,

Оберите-тко свои сумоцьки переметныи:

Если я задену ножкой левою,

То негди сумоцек будет искати;

И если я задену ножкой правою,

То негди будет сумоцек искати.-

– Ах ты, Оника пустохвастишко,

Ах ты, Оника пустохвалишко!

Ты ездишь, Оника, похваляешься,

А тебя с дело не выхватывать.-

Разсердился Оника-воин,

Задел он сумоцьку ножкой левою,–

И не мог он сумоцьки повыздынуть;

Задел Оника ноженькой правою,–

И не мог он сумоцьки повыздынуть,

Соскоцил Оника со добра коня

И принимался во всю силу богатырскую:

И по колен ушел во матушку во сыру-землю,

И не мог он сумоцек повыздынуть.

Разсердился Оника по-сердиному,

И разозлился Оника по-звериному,

И принимался всею силой богатырскою:

И по пояс ушел во матушку во сыру-землю,

И не мог он сумоцек повыздынуть.

И принимался Оника не на шутоцьку:

И по грудей ушел он во матушку во сыру-землю,

И не мог он сумоцек повыздынуть.

И надорвал он свое ретливое сердецюшко,

И со стыдом садился на добра коня,

На добра коня на Обахмата.

И поехал Оника-воин цистым полем,

Широкиим раздольем.

А на той пути на дороженьки

Лежит тут цюдо цюдноё,

Лежит тут диво дивное:

Руки-ноги лошадиныи,

А голова лежит звериная,

И туша целовецецка.

– Что же ты лежишь, цюдо цюдноё?

Али ты цюдилиця есть прецюдная,

Али ты поляк есть, поленской сын,

Али ты полениця удалая? -

– А не цюдо есть я цюдноё,

Не цюдилиця есть прецюдная,

Не поляк, не поленский сын,

Не полениця я есть удалая:

Оника воин, я есть Смерть скорая,

Скорая есть Смерть, скоропостижная.-

– Ай же ты, душегубка!

У меня есть сабля вострая:

Отмахну же буйную голову! -

– А не хвастай, Оника-воин:

У меня естё шилья вострыя,

И подпилю я у тя жилоцьки.-

Замахнулся Оника вострой саблею:

Во плеци рука застоялася,

Никуды рука не сгибалася,

Востра сабля с руки выпала

И цють добра коня не изрезала.

– Ай же ты, Смертка скорая!

Дай мне строку хоть на три годы

Свой живот по церквам рознесть

И золоту казну по нищей братии,

Мни своя душенька наб покаяти.-

– Не дам я теби строки и на три часы:

Твой живот есть неправедной,

Золота казна не заработана,

И твоей души не будет помоци.-

– И дай ты строку хоть на три часы

Мни-ка свой живот по церквам разнесть,

Золота казна по нищей братии,

И свою душу наб покаяти.-

– Не дам я ти строку ни три минуты:

Твой живот есть неправедной,

Золота казна не заработана,

И твоей души не будет помоци.-

Зашатался Оника-воин на добри кони,

И упал он на сыру землю:

И быдто век души не было.

Рахта Рагнозерский[14]

Проезжал борец было неверныи,

Много городов прошел,

Много он борцов повалил,

Иныих он до смерти убил.

Приезжав он в Москву да белокаменну,

Сам же князю похваляется:

– Ай же, князь ты московский!

Дай мне нуньчу поединщичка.

Ты не дадешь нам да поединщичка –

Я вашею Москву да всю огнём прижгу. -

Много находилоси младых борьцов,

А никто не может с ним да супротивиться,

А и борец против его да не находится.

Из той же из-под северной сторонушки

А стоят же мужики да балахонники,

А и самы оны да испроговорят:

– Кабы наш-то же да Рахта рагнозерскии,

Этого борьца он бы нунь в кучку склал.-

Подходит человек да незнакомый,

У тых же мужиков он да спрашиват:

– Вы откуда, мужички да балахонники,

[14] Публикуемый в сборнике текст первого варианта сюжета записан А.Ф. Гильфердингом от пудожского крестьянина П.Л. Калинина (Онежские былины. 4-е изд., т. 1, № 11).

А какой же у вас Рахта рагнозерскии? –

Отвечали мужики да балахонники:

– Наш бы Рахта рагнозерскии

Этого борьца да он бы в кучку склал.-

Подхватили мужиков да балахонников

А держали их-то в крепости,

Отправляли тут скоро гонца

В ту деревню Рагнозерскую,

За тым Рахтой рагнозерскиим.

Приезжает тут гонец было московский,

В ту деревню Рагнозерскую.

Не случилось было Рахты дома ли,

При тоем гонци да при московскоем,

Находился Рахта в лисях е1).

Спрашиват гонец было московский:

– Этта ль есть да Рахта рагнозерскии? –

Отвечает тут ему да было женщина:

– Тут живет же Рахта рагнозерскии.

Ты откудова, удалый добрый молодец? -

– Я из той Москвы да белокаменный,

Тот гонец да было скорый

А за тем было за Рахтой рагнозерскиим,

Требует тут было князь московский

С тым борьцем да поборотися,

А с неверныим поратиться.–

Отвечает ему женщина:

– Ай же ты, гонец было московский!

Как из лесу приде Рахта рагнозерскии,

Не серди ты-тко его голоднаго,

А и голоднаго его да холоднаго.

Дай ему волю хлеба нунь покушати,

А тожно ты его да нуньчу спрашивай.-

Тут приходит с лесу Рахта рагнозерскии.

Зготовляет обед да ему женщина,

Он же сел тут хлеба кушати,

А поел же тут нунь Рахта рагнозерскии.

Ты ставае да гонец было московский

А и ему же тут нунь поклоняется:

– Ты есть нуньчу Рахта рагнозерскии?

Требует тя князь нуньчу московский

С тым борьцом да поборотиться,

Что ль с неверныим да попытатися.-

– Отправляйся-ко, гонец да ты московский,

Нунь в Москву свою да белокаменну.

Я послушаю нунь князя да московскаго

А прибуду я в Москву да на борение,

Да прибуду нунь попрежде вас.

А прибуду буде раньше вас,

Гди искать мне князя да московскаго? -

– Ты прибудешь нунь в Москву да белокаменну,

Спросишь же ты князя там московскаго,

Там тебе-ка-ва покажут ли.-

А и гонец в Москву да отправляется;

Рахта тут на лыжи было ставится,

Что ли Рахта тут в Москву да отправляется,

Да попрежде тут гонца в Москву он ставится.

Отыскал же тут он князя да московскаго,

А кормили тут его да было досыти,

А поили тут его да было допьяна.

Тот гонец в Москву было прискакивал,

А про Рахту он у князя было спрашивал.

Отвечав тут да князь было московский:

– Здесь-ко Рахта что ль в Москвы да объявляется,

Именем своим да Рахта называется.-

Говорит гонец было московский

Что ли князю да московскому:

– Ты держи-тко его сутки да голоднаго,

Тожно ты спусти к борьцу да на борение

А к неверному на показание.-

Выдержали сутки да голоднаго

А спустили тут его да на борение.

Говорит тут Рахта рагнозерскии:

– Я бороться князь да нунечу не знаю ли,

Я поратиться с борьцом да не умею ли,-

Да привычка нунь у нас да была женская.-

Как ухватит он борьца за плеча ли

Да топнет тут борьца да о кирпичен мост,

Сбил его всего да в кучку вдруг.

– Ай же ты, да Рахта рагнозерскии,

Чим тебя да нунечу пожертвовать? -

– Ничего мне, князь, не надобно,–

Дай-ко мне-ка бласловеньицо,

Что ль на нашем было на озерушке

Не ловили да мелкою там рыбушки

А без нашего да дозволеньица. -

Дал ему да князь было московский,

Дал ему да князь тут дозволеньицо,

Чтоб не ловили без его благословленьица.

1) В лисях – В лесах.

Егорий Храбрый

Во граде было в Иерусалиме,
При царе было при Фёдоре,
А царица была Премудрая Софья.
Породила она себе три отроца,
Три отроца и три дочери,
А четвертаго породила чуднаго отроца,
Святого Егория Храбраго.
С начала было света вольнаго,
Не бывало на Иерусалим-град
Никакой беды, ни погибели.
Наслал господи наслание
На Иерусалим-град:
Напустил господь царища Демианища,
Безбожнаго пса бусурманища.
Победил злодей Ерусалим-город:
Сечет, и рубит, и огнем палит,
Царя Фёдора в полон берет,
В полон берет, в столб закладывает.
Полонил злодей три отроца,
Три отроца и три дочери,
А четвертаго чуднаго отроца,
Святого Егория Храбраго,
Возил в свою землю Жидовскую.
Он и стал пытать, крепко спрашивать,
Вынимал злодей саблю острую,
Хотел губить их главы
По их плеча могучия:
Ой вы гой еси, три отроца,
Три отроца царя Федора!
Вы покиньте веру християнскую,
Поворуйте мою латынскую,
Латынскую, бусурманскую,
Молитесь богам моим кумирскиим,
Поклоняйтеся моим идолам! -
Три отроца и три родны сестры
Сабли острой убоялися,
Царищу Дамианищу преклонялися:
Покидали веру християнскую,
Начали веровать латынскую,
Латынскую, бусурманскую.
Царища Дамианища,
Безбожный царь-бусурманища
Возговорил ко святому Егорию Храброму:
Ой ты гой еси, чудный отроце,
Снятый Егорий Хорабрый!
Покинь веру истинную християнскую,
Поверуй веру латынскую,
Молись моим богам скумирскиим,
Поклоняйся моим идолам! -

Святый Егорий проглаголует:
Злодей царища Дамианища,
Безбожный пёс бусурманища!
Я умру за веру християнскую,
Не покину веру християнскую,
Не буду веровать латынскую,
Латынскую, бусурманскую,
Не буду молиться богам твоим кумирскиим,
Не поклонюсь твоим идолам! -
На то царище распаляется,
Повелел Егорья во пилы пилить;
Не довлеет Егорью пилы пилить:
По божьему повелению,
По Егорьеву молению,
Не берут пилы жидовския;
У пил зубья позагнулися,
Мучители все утомилися;
Возставал Егорий на резвы ноги,
Поет стихи херувимские,
Превозносит гласы все архангельские.
Возговорит царище Демианище
Ко святому Егорию Храброму:
Ой ты гой еси, чудный отроце,
Святый Егорий Хорабрый!
Ты покинь веру истинную християнскую,
Поверуй в веру латынскую! -
А святой Егорий проглаголует:
Я умру за веру християнскую,
Не покину веру християнскую,
Не буду веровать во латынскую,
Латынскую, бусурманскую! -
На то царище опаляется,
В своем сердце разозляется.
Повелел Егорья в топоры рубить;
Не довлеть Егорья в топоры рубить:
По божьему повелению,
По Егорьеву молению,
Не берут Егория топоры немецкий;
По обух лёзья приломилися,
А мучители все приутомилися;
Да возстает Егорий на резвы нози,
Он поет стихи херувимские,
Превозносит гласы архангельские.
Возговорит царище Демиянище
Ко Егорию Храброму:
Ой ты гой еси, отче Егорий Храбрый!
Поверуй веру латынскую! -
А святый Егорий проглаголует:
Я умру за веру християнскую,
Не буду веровать латынскую! -
Царища Демьянище на него опаляется.
Повелел Егорья в котёл сажать;
Не довлеть Егорью во котле сидеть,
Во котле сидеть, на смоле кипеть:
Стал же Егорий посреди котла,
Посреди котла и посреди смолы,
Он поет стихи херувимские,
Превозносит гласы все архангельския.
Возговорит царище Демьянище:
Покинь веру истинную християнскую,

Поверуй мою веру латынскую,
Латынскую, бусурманскую! -
Святый Егорий проглаголует:
Я не буду веровать веру бусурманскую,
Я умру за веру християнскую! -
На то царище Демианище опаляется;
Повелел своим мучителям:
Ой вы гой еси, слуги верные!
Вырывайте скоро глубок погреб! -
Тогда же его слуги верные
Вырывали глубок погреб,
Глубины сорока сажень,
А поперечень двадсяти;
Посадили Егория Храбраго в глубок погреб,
Закрывали досками дубовыми,
Засыпали песками желтыми.
По божьему повелению,
По Егорию Храброму молению,
Воставали сильные ветры,
Разносили пески да желтые,
Открывали доски дубовыя;
Выходил Егорий во святую Русь.
Приходил Егорий во Ерусалим-город.
Ерусалим-город пуст-пустёхонек:
Вырубили его и выжегли,
Только единая стоит церковь соборная,
Церковь соборная, богомольная.
Во той во церкви соборной, богомольной,
Стоит в нем его матушка родимая,
Премудрая София.
Стоит, богу молится:
Помолимши богу, оглянулася;
Она узрела своего отроца,
Святаго Егория Храбраго:
Ой ты гой еси, мой чудный отроце,
Егорий Храбрый!
Где ты был, где разгуливал? -
- Ой сударыня моя матушка,
Святая Премудрая София!
Был я у злодея царища Демианища,
Безбожнаго злодея бусурманища;
Претерпел я муки разныя,
Муки разныя, разноличныя.
Осударыня моя матушка,
Премудрая София!
Воздай мне свое благословение:
Поеду я по всей земле светло-Русской
Утверждать веры християнския.-
Тут же Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Бусурманскую веру побеждаючи,
Наезжал Егорий Храбрый
На леса на дремучие:
Нельзя Егорию было проехать,
И святому подумати;
И святой Егорий проглаголует:
Ой вы, леса тёмные,
Вы леса дремучие!
Заростится вы, леса,
По всей земле светло-Русской,

По крутым горам по высокиим. -
По божьему все повелению,
По Егориеву все молению,
Зарослись леса по всей земле,
По всей земле светло-Русской,
По крутым горам по высокиим,
Ростут леса, где им господь повелел.
Еще Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Бусурманскую веру побеждаючи,
На такую чуду наезжаючи,
Наезжал Егорий на реки быстрыя,
На быстрыя, на текучия:
Нельзя Егорью проехати,
Нельзя святому подумати.
- Ой вы еси, реки быстрыя,
Реки быстрыя, текучия!
Протеките вы, реки, по всей земли,
По всей земли свято-Русскией,
По крутым горам, по высокиим,
По темным лесам, по дремучиим;
Теките вы, реки, где вам господь повелел.
По божьему велению,
По Егориеву молению,
Протекли реки, где им господь повелел,
Еще, еще Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Бусурманскую веру побеждаючи,
На такое чудо наезжаючи,
Наезжал Егорий на стадо звериное,
На стадо звериное, на рыскучее:
Нельзя было Егорию проехати,
Нельзя было подумати.
Святой Егорий проглаголует:
Ой вы гой еси, звери лютые,
Звери лютые, вы рыскучие!
Разбегайтесь вы, звери, по всей земле,
По всей земле светло-Русской,
По крутым горам, по высокиим,
По темным лесам, по дремучиим,
Вы пейте поведенное, благословенное
От святаго Егория Храбраго.-
По божьему все повелению,
По Егориеву молению,
Разбегалися звери по всей земли,
По всей земле светло-Русскией,
Они пьют-едят повеленное,
Повеленное, благословленное
От Егория Храбраго.
Еще же Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Бусурманскую веру побеждаючи,
Наезжал Егорий на стадо на змеиное:
Нельзя Егорию проехати,
И святому подумати.
Вынимал Егорий саблю острую,
Посек он, порубил стадо острое,
Стадо острое, змеиное;
Стал же Егорий во крови по белую грудь:
Втыкает Егорий свое скипетре

Во матерь во землю:
О матушка сырая-земля, разступися,
На все четыре страны раздвинься,
На четыре страны, на четыре четверти,
Ты пожри кровь змеиную, проклятую! -
По божьему все повелению,
По Егориеву молению,
Мать сыра-земля разступалася
На четыре страны, на четыре четверти
И пожрала кровь змеиную, проклятую.
Еще Егорий поезжаючи,
Приезжал Егорий
Ко дворцу к царищу Демианищу;
На вратах сидит Стратим-птица:
Нельзя Егорью проехати,
Нельзя святому подумати,
А святый Егорий проглаголует:
О ты матушка, Стратим-птица!
Возвейся под небеса,
Полети на Океань-море,
Ты и пей и ешь в Океань-море,
И детей производи на Океань-море! -
По божьему повелению,
По Егорьеву молению,
Подымалась Стратим-птица под небеса,
Полетела она на Океан-море;
Она пьет и ест на Океане-море,
И детей выводит на Океане-море.
Подъезжал Егорий ко палатам белокаменным,
Да где же пребывает царище Демианище,
Безбожный пёс бусурманища.
Увидел его царища Демианище,
Безбожный пёс бусурманища.
Выходил он из палаты белокаменной,
Хотел победить Егория Храбраго;
А святой Егорий Храбрый
Вынимает меч, саблю вострую,
Он ссек его злодейскую голову
По его могучия плечи.
Он берет свои три родных сестры,
Приводит к Иордан-реке:
Ой вы мои три родных сестры!
Вы скидайте платье латынское,
Латынское, бусурманское,
Вы купайтесь во Иордан-реке,
Вы обмывайте веру латынскую,
Латынскую, бусурманскую,
Принимайте веру истинную, християнскую.-
Тогда же его три родны сестры
Скидали платье латынское,
Латынское, бусурманское,
Купались во Иордан-реке,
Обмывали веру латынскую,
Латынскую, бусурмаискую,
Принимали веру истинную, християнскую.
Приходил Егорий к своей матушке родимой:
Государыня моя матушка родимая,
Премудрая Софья!
Вот тебе три дочери,
А мне три родных сестры!

Калики перехожие

Во граде было в Иерусалиме
При царе было при Федоре,
Жила царица благоверная
Святая София Перемудрая.
Породила она себе три дочери,
Три дочери да три любимые,
Четвертого сына Егория,
Егория, света, Храброго:
По колена ноги в чистом серебре,
По локоть руки в красном золоте,
Голова у Егория вся жемчужная,
По всем Егорие часты звезды.
С начала было света вольного
Не бывало на Иерусалим-град
Никакой беды, ни погибели;
Наслал Господь наслание
На Иерусалим-град:
Напустил Господь царища Демьянища,
Безбожного пса бусурманища.
Победил злодей Иерусалим-город,
Сечет и рубит и огнем палит,
Царя Федора в полон берет,
В полон берет, в столе закладывает.
Полонил злодей три отроцы,
Три отроцы и три дочери,
А четвертого чудного отроца
Святого Егория Храброго.
Увозил Егорья во свою землю,
Во свою землю во неверную.
Он и стал пытать, крепко спрашивать:
А скажи, Егорий, какова роду,
Какова роду, какова чину?
Царского роду, аль боярского,
Аль того чину княжевинского?
Ты которой вере веруешь?
Ты которому Богу молишься?
Ты поверуй веру ты ко мне царю,
Ко мне царю, к моим идолам! -
Святой Егорий, свет, глаголует:
Ты, злодей царище бусурманище!
Я не верую веры твоей неверныей,
Ни твоим богам, ко идолам,
Ни тебе, царищу бусурманищу!
Верую в веру крещеную,
Во крещеную, богомольную,
Самому Христу, Царю Небесному,
Во Мать Пресвятую Богородицу,
Еще в Троицу неразделимую! -
Вынимал злодей саблю острую,
Хотел губить их главы
По их плеча могучие:
Ой вы, гой еси, три отроцы,
Три отроцы царя Федора!
Вы покиньте веру христианскую,
Поверуйте мою латынскую,
Латынскую бусурманскую!
Молитесь богам моим кумирскиим,

Поклоняйтеся моим идолам! -
Три отроцы и три родны сестры
Сабли острой убоялися,
Царищу Демьянищу преклонилися:
Покидали веру христианскую,
Начали веровать латынскую,
Латынскую бусурманскую.
Царище Демьянище,
Безбожный царь бусурманище,
Возговорил ко святому Егорию Хораброму:
Ой ты, гой еси, чудный отроце,
Святый Егорий Хорабрый!
Покинь веру истинную, христианскую,
Поверуй веру латынскую!
Молись моим богам кумирскиим,
Поклоняйся моим идолам! -
Святый Егорий проглаголует:
Злодей царище Демьянище,
Безбожный пес бусурманище!
Я умру за веру христианскую,
Не покину веру христианскую!
Не буду веровать латынскую,
Латынскую бусурманскую,
Не буду молиться богам твоим кумирскиим
Не поклонюся твоим идолам! -
На то царище распаляется,
Повелел Егорья, света, мучити
Он и муками разноличными.
Повелел Егорья во пилы пилить;
По Божьему повелению,
По Егориеву молению
Не берут пилы жидовские:
У пил зубья позагнулися,
Мучители все утомилися,
Ничего Егорью не вредилося,
Егорьево тело соцелялося.
Восставал Егорий на резвы ноги -
Поет стихи херувимские,
Превозносит гласы все архангельские.
Возговорит царище Демьянище
Ко святому Егорью Хораброму:
Ой ты, гой еси, чудный отроце,
Святой Егорий Хорабрый!
Ты покинь веру истинную, христианскую,
Поверуй в веру латынскую! -
А святой Егорий проглаголует:
Я умру за веру христианскую,
Не покину веру христианскую!
Не буду веровать во латынскую,
Латынскую бусурманскую! -
На то царище опаляется,
В своем сердце разозляется.
Повелел Егорья в топоры рубить.
Не довлеть Егорья в топоры рубить:
По Божию повелению,
По Егориеву молению
Не берут Егорья топоры немецкие:
По обух лезья преломилися,
А мучители все приутомилися,
Ничего Егорью не вредилося,

Егорьево тело соцелялося.
Да восстает Егорий на резвы ноги -
Он поет стихи херувимские,
Превозносит гласы архангельские.
Возговорит царище Демьянище
Ко Егорию Хораброму:
Ой ты, гой еси, Егорий Хорабрый!
Поверуй веру латынскую! -
А святый Егорий проглаголует:
Я умру за веру христианскую,
Не покину веру христианскую!
Не буду веровать латынскую. -
Царище Демьянище на него опаляется
Повелел Егорья в сапоги ковать,
В сапоги ковать гвозди железные.
Не добре Егорья мастера куют:
У мастеров руки опущалися,
Ясные очи помрачалися.
Ничего Егорью не вредилося,
Егорьево тело соцелялося.
А злодей царище Демьянище
Повелел Егорья во котел сажать,
Повелел Егорья во смоле варить:
Смола кипит, яко гром гремит,
А посверьх смолы Егорий плавает;
Он поет стихи херувимские,
Превозносит гласы все архангельские.
Возговорит царище Демьянище:
Покинь веру истинную, христианскую,
Поверуй мою веру латынскую,
Латынскую бусурманскую! -
Святый Егорий проглаголует:
Я не буду веровать веру бусурманскую,
Я умру за веру христианскую! -
На то царище Демьянище опаляется,
Повелел своим мучителям:
Ой вы, гой еси, слуги верные,
Вырывайте скоро глубок погреб! -
Тогда же его слуги верные
Вырывали глубок погреб:
Глубины погреб сорока сажен,
Ширины погреб двадсяти сажен.
Посадил Егорья во глубок погреб,
Закрывал досками железными,
Задвигал щитами дубовыми,
Забивал гвоздями полужёными,
Засыпал песками рудожелтыми,
Засыпал он и притаптывал,
И притаптывал и приговаривал:
Не бывать Егорью на святой Руси!
Не видать Егорью света белого,
Не обозреть Егорью солнца красного,
Не видать Егорью отца и матери,
Не слыхать Егорью звона колокольного,
Не слыхать Егорью пения церковного! -
И сидел Егорий тридсять лет.
А как тридсять лет исполнилось,
Святому Егорью во сне виделось:
Да явилося солнце красное,
Еще явилася Мать Пресвятая Богородица,

Святу Егорью, свет, глаголует:
Ой ты еси, святый Егорий, свет,
Храбрый! Ты за это ли претерпение
Ты наследуешь себе Царство Небесное! -
По Божьему повелению,
По Егория Храброго молению
От свята града Иерусалима
Поднималися ветры буйные,
Разносило пески рудожелтые,
Поломало гвозди полужёные,
Разнесло щиты дубовые,
Разметало доски железные,
Выходил Егорий на святую Русь.
Завидел Егорий свету белого,
Услышал звону колокольного,
Обогрело его солнце красное.
И пошел Егорий по святой Руси,
По святой Руси, по сырой земле
Ко тому граду к Иерусалиму,
Где его родима матушка
На святой молитве Богу молится.
Приходил Егорий во Иерусалим-город.
Иерусалим-город пуст-пустехонек:
Вырубили его и выжегли!
Нет ни старого, нет ни малого.
Стоит одна церковь соборная,
Церковь соборная, богомольная.
А во церькови во соборныей,
Во соборныей, богомольныей
Стоит его матушка родимая
Святая София Перемудрая,
На молитвах стоит на Исусовых:
Она Богу молит об своем сыну,
Об своем сыну об Егорию.
Помолимши Богу, оглянулася;
Она узрела и усмотрела
Свово чаду, свово милого
Свята Егория, света, Храброго;
Святу Егорью, свет, глаголует:
Ой ты еси, мое чадо милое,
Святой Егорий, свет, Храбрый!
Где ты был, где разгуливал? -
Святый Егорий, свет, глаголует:
Ой сударыня, моя матушка,
Святая Премудрая София!
Был я у злодея царища Демьянища,
Безбожного злодея бусурманища,
Претерпел я муки разные,
Муки разные, разноличные.
Государыня моя матушка,
Святая София Премудрая!
Воздай мне свое благословение,-
Поеду я по всей земле светлорусской
Утвердить веру христианскую! -
Свету Егорию мать глаголует:
Ты поди, чадо милое!
Ты поди далече во чисты поля,
Ты возьми коня богатырского
Со двенадесять цепей железных
И со сбруею богатырскою,

Со вострым копьем со булатныим
И со книгою со Евангельем. -
Тут же Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Бусурманскую веру побеждаючи,
Наезжал на леса на дремучие.
Леса с лесами совивалися,
Ветья по земле расстилалися -
Ни пройдтить Егорью, ни проехати.
Святой Егорий глаголует:
Вы лесы, лесы дремучие!
Встаньте и расшатнитеся,
Расшатнитеся, раскачнитеся,
Порублю из вас церкви соборные,
Соборные да богомольные!
В вас будет служба Господняя.
Зароститеся вы, леса,
По всей земле светлорусской,
По крутым горам по высокиим! -
По Божьему все повелению,
По Егорьеву все молению
Разрослись леса по всей земле,
По всей земле светлорусской,
По крутым горам по высокиим;
Растут леса, где им Господь повелел.
Еще Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Бусурманскую веру побеждаючи,
Наезжал Егорий на реки быстрые,
На быстрые, на текучие, -
Нельзя Егорью проехати,
Нельзя святому подумати.
Ой вы еси, реки быстрые,
Реки быстрые, текучие!
Протеките вы, реки, по всей земли,
По всей земли святорусскией,
По крутым горам по высокиим,
По темным лесам, по дремучиим;
Теките вы, реки, где вам Господь повелел! -
По Божьему велению,
По Егориеву молению
Протекли реки, где им Господь повелел.
Святой Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Наезжал на горы на толкучие:
Гора с горой столконулася -
Ни пройдтить Егорью, ни проехати.
Егорий святой проглаголывал:
Вы горы, горы толкучие!
Станьте вы, горы, по-старому.
Поставлю на вас церковь соборную,
В вас будет служба Господняя! -
Святой Егорий проезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Наезжал Егорий на стадо звериное,
На серых волков на рыскучиих.
И пастят стадо три пастыря,
Три пастыря да три девицы,
Егорьевы родные сестрицы.
На них тела, яко еловая кора,

Влас на них, как ковыл-трава, -
Ни пройдтить Егорью, ни проехати.
Егорий святой проглаголывал:
Вы волки, волки рыскучие!
Разойдитеся, разбредитеся,
По два, по три, по единому -
По глухим степям, по темным лесам.
А ходите вы повременно,
Пейте вы, ешьте поведенное
От свята Егория благословления! -
По Божьему все повелению,
По Егориеву молению
Разбегалися звери по всей земли,
По всей земли светлорусскией.
Они пьют, едят поведенное,
Поведенное, благословленное
От Егория Храброго.
Еще же Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Бусурманскую веру побеждаючи,
Наезжал Егорий на стадо на змеиное -
Ни пройдтить Егорью, ни проехати.
Егорий святой проглаголывал:
Ой вы, гой еси, змеи огненные!
Рассыпьтесь, змеи, по сырой земле
В мелкие дробные череньицы.
Пейте и ешьте из сырой земли! -
Святой Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Приезжал Егорий
К тому ко городу Киеву.
На тех вратах на Херсонскиих
Сидит Черногар-птица,
Держит в когтях Осетра-рыбу -
Святому Егорью не проехать будет.
Святой Егорий глаголует:
Ох ты, Черногар-птица!
Возвейся под небеса,
Полети на океан-море.
Ты и пей и ешь в океан-море,
И детей производи на океан-море! -
По Божьему повелению,
По Егорьеву молению
Подымалась Черногар-птица под небеса,
Полетела она на океан-море;
Она пьет и ест в океан-море
И детей выводит на океан-море.
Святой Егорий проезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Наезжал палаты белокамепны,
Да где же пребывает царище Демьянище,
Безбожный пес бусурманище.
Увидел его царище Демьянище,
Безбожный пес бусурманище,
Выходил он из палаты белокаменной,
Кричит он по-звериному,
Визжит он по-змеиному;
Хотел победить Егорья Храброго.
Святой Егорий не устрашился,
На добром коне приуправился,

Вынимает меч-саблю вострую,
Он ссек его злодейскую голову
По его могучие плечи;
Подымал палицу богатырскую,
Разрушил палаты белокаменные,
Очистил землю христианскую,
Утвердил веру самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному,
Владычице Богородице,
Святой Троице неразделимые.
Он берет свои три родных сестры,
Приводит к Иордань-реке:
Ой вы, мои три родных сестры!
Вы умойтеся, окреститеся,
Ко Христову гробу приложитеся!
Набралися вы духу нечистого,
Нечистого, бусурманского:
На вас кожа, как еловая кора,
На вас власы, как камыш-трава!
Вы поворуйте веру самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному,
Владычице Богородице,
Святой Троице неразделимые! -
Умывалися, окрещалися,
Камыш-трава с них свалилася,
И еловая кора опустилася.
Приходил Егорий к своей матушке родимой:
Государыня моя, матушка родимая,
Премудрая Софья!
Вот тебе три дочери,
А мне три родных сестры! -
Егорьева много похождения,
Велико его претерпение!
Претерпел муки разноличные
Все за наши души многогрешные!
Поем славу святу Егорию,
Святу Егорию, свет, Хораброму!
Во веки его слава не минуется
И во веки веков! Аминь!

Русские народные песни, собранные П. Киреевским. 1848

Наезжал царище Грубиянище,
Он князей-бояр да всех повырубил,
Он княгинюшек да во полон берет,
Оставалося да чадо милое,
Чадо милое, Егорий, храброе.
- Ну-ко станем Егорья-света мучити
Его всякыма мукамы разноличныма,
Ну-ко станем Егорья топором рубить. -
У топора лезьё всё приотпадало,
А Егорью-свету не досталося.
- Ну-ко станем Егорья тут пилой пилить! -
У пилы зубьё всё прикрошилося.
- Ну-ко станем Егорья во котли варить! -
А во котли Егорий он стоём стоит,
Он стоём стоит, да всё стихи поет,
На котли стаёт да пена золото,
А под котлом растет трава муравая.
Копали Егорью темный погреб-то,

Кидали Егорья в темный погреб-то,
И кольём да колодой заколачивали,
Серым-то камнем да заволачивали,
Желтыма пескамы да призасыпали,
Муравой травой да замуравили,
Тут еще вор-собака похваляется:
- Не бывать Егорью на святой Руси,
Не видать Егорью света белого,
Не видать ему честной вдовы Марфы Алексеевны. -
От тут пали ветры буйные,
Ветры буйные, ветры холодные.
Всё кольё-колодьё разворочало,
Серо каменье прираскатало,
Мураву траву всю размуравило,
И желты пески все приразвеяло,
И выходил Егорий на святую Русь,
Увидал Егорий свету белого,
И садился Егорий на добра коня,
Приезжал Егорий ко своей родной матери,
Приезжал он ко красну крыльцу.
- Здравствуй, Егорий храбрыя! -
- Благослови-ка, маменька, мне-ка съездить во чисто поле,
Я убью, убью да кровь татарскую,
Изменю, изменю на христианскую. -
Вот садился Егорий на добра коня,
И поезжал он во чисто поле.
Выходит царище Грубиянище:
Здравствуй-ко-стё, Егорий храбрыя!
Станем с тобой крестами брататься,
Крестами брататься да перстнём назваться.
Пусть, говорит, я тебе меньшой брат,
А ты мне большой! -
Не черный ворон крылом махнул,
А махнулася сабля острая.
- Я убил, убил я кровь татарскую,
А изместил, изместил я кровь христианскую

Скоморошины[15]

Терминологическая справка

Различные по складу и предназначению произведения объединяются под общим названием скоморошины, заимствованным у самих исполнителей этих песен. Название это подразумевает, что подобные песни предположительно восходят к творчеству древнерусских скоморохов (конечно, они владели обширным

[15] Приводятся тексты из сборников К.Данилова, А.Гильфердинга, М.Чулкова, А.Соболевского, собранные в XVIII и XIX веках.

фольклорным репертуаром – скоморошины составляли лишь часть его).

Если рассматривать современное состояние русского фольклора, то скоморошины принадлежат к его реликтовым жанрам. Не случайно большинство текстов значительной части сюжетов скоморошин находится в источниках XVIII–XIX вв. (сборник Кирши Данилова, рукописные песенники XVIII и XIX вв., сборники Киреевского, Рыбникова, Шейна и т. д.). К настоящему времени из круга текстов, относящихся к скоморошинам, встречаются чаще всего небылицы, функционирующие как плясовые песни или перешедшие в детский фольклор и используемые как прибаутки. В сборнике Кирши Данилова, однако, скоморошины занимают заметное место и по своему тематическому и стилистическому своеобразию легко отличимы от прочих текстов (более того, в этом фольклорном собрании зачастую и в «серьезных» текстах заметно влияние стиля скоморошин, вследствие чего ученые неоднократно писали о его скоморошьем характере, а, возможно, и происхождении).

Скоморошины эпические

Прежде всего среди скоморошин выделяются эпические («скоморошьи старины», «старины-фабльо», «шутовые старины» – А. Д. Григорьев; «былины скоморошьего склада» – А. М. Лобода; «былины-скоморошины» – В. Я. Пропп и Б. Н. Путилов – правда, их же — по крайней мере некоторые из них – они называют «скоморошьими балладами»). Именно эти скоморошины лучше всего были описаны и исследованы фольклористами, однако эпические скоморошины – одни из самых редких текстов в русском фольклоре: так, например, «Гость Терентьище» – самая «классическая» эпическая скоморошина – известен всего в шести записях; «Старец Игренище» – в трех, из которых к тому же одна неполная, а одна – незначительный фрагмент текста, функционирующий как игровая песня; «Сергей хорош» представлен единственным вариантом и т. д. Эпические скоморошины по стилю соотносятся с былинами; однако они не пародируют стиля былин, а просто применяют его при повествовании о событиях иного уровня, чем былины. Особенностью этих песен является их сюжетная близость к бытовым сказкам; с известной долей условности их можно даже назвать распетыми на манер эпических песен сказками (вследствие чего именно к этому типу скоморошин более всего подходит термин А. Д. Григорьева «старины-фабльо»).

Ко второму типу скоморошин принадлежат тексты, обнаруживающие близость – и по сюжету, и по функции – с частыми лирическими (плясовыми или игровыми) песнями. Необходимо заметить, однако, что и скоморошины эпического типа также исполнялись обычно не на былинный напев, т. е. уже изначально отличались от былин (например, эпические скоморошины в сборнике Кирши Данилова пелись на мотив, близкий «Камаринской»), однако поэтический стиль их близок былинам, а композиция сюжета – сказкам. Скоморошины же второго типа (условно назовем их «плясовыми») отличаются от эпических скоморошин как стилем, так и тем, что «сквозной», завершенный сюжет в них может отсутствовать. В них зачастую наличествует цепь отдельных сюжетных ситуаций, объединенных общим насмешливым (а иногда и глумливым) отношением к изображаемой действительности; помимо этого общего отдельным фрагментам текста эмоционального тона (ср.

«Былинку» из д. Римская на Пудоге, «Мизгирь» в контаминированном варианте из сборника П. Н. Рыбникова, непристойные «Свиньи хрю, поросята хрю» и «Стать почитать, стать сказывать» у Кирши Данилова), необходимо отметить особый художественный мир этих скоморошин – мир абсурдов, перевертышей, забавных и едва ли возможных в действительности ситуаций. Иногда в

«орбиту» такой плясовой скоморошины вовлекаются фрагменты текстов иного жанрового происхождения – возникают большие контаминированные тексты.

Тексты исконно иных жанров, начиная функционировать в составе скоморошин, утрачивают свойственную лирике многослойность содержания (символизм, иносказательность и т. д.) и «работают» на создание особой, специфической для скоморошин, художественной реальности. В состав подобных текстов могут включаться также песни о деревнях и их жителях (иногда функционирующие и отдельно, не как плясовые песни и скоморошины) и, хотя и редко, о реальных происшествиях, случившихся в какой-либо местности и запомнившихся жителям.

Особой разновидностью второго типа являются скоморошины-небылицы, художественный мир которых нарочито противопоставлен реальности. По композиции они представляют собой нанизывание небольших однотипных эпизодов с нереальным содержанием (например, классическая «Небылица, небывальщина» М. Д. Кривополеновой). Для скоморошин второго типа характерно наличие связанных с ними сюжетно и на уровне художественного мира и системы персонажей соответствий среди лирических песен: таковы пары «Травник» – «Лунек» (игровая песня), «Повесть о Ерше Ершове сыне Щетиннике» – «Ерш Ершович» (игровая песня), «Старина о большом быке» – «Бычок» (плясовая песня с обрядовыми корнями).

Наконец, третьим, причем наиболее пестрым, типом скоморошин, содержащим несколько подтипов, являются скоморошины-пародии. Надо отметить, впрочем, что пародийные элементы встречаются практически во всякой скоморошине (имеется в виду пародия стиля и вообще художественной формы произведения – а по содержанию всякую скоморошину можно счесть пародией на действительность) – но для большинства скоморошин пародия на какой-либо «серьезный» жанр не является целью – она средство создания комического эффекта, причем для этого хватает пародии отдельных элементов стиля и поэтических средств. В части же текстов пародия выступает как основной художественный прием и цель создания текста. В композиционном отношении такие скоморошины воспроизводят жанровый канон пародируемого произведения (духовного стиха – «Жил-был моторный», «Старец во пустынюшке спасался»; Богослужебного песнопения – пародии на Пасхальный канон, акафист матери кукурузе и т. д.; христославления; заговоры; некоторые из них пародируют былинный стиль: ср. в «Агафонушке» – «Высока ли высота потолочная, глубока глубота подпольная.»; в «Старине о льдине» – «Как во славном во городе во туесе, да за крепкой стеной было – за жерновом.»; «Как во славном во Нижове» и пр.; имеются пародии на свадебный и похоронный обряды и обрядовый фольклор – «Свадьба совы», пародии на причитания, приговоры, свадебные указы и росписи приданого; пародируются, наконец,

и письменные формы народной культуры – известны пародийные травники и лечебники, челобитные – более всего таких пародий в составе древнерусской литературы, однако есть и записи их в устном бытовании, хотя обычно воспроизведение это ограничивается фрагментом и не создается текста, равного по масштабу исходному объекту пародии).

«Былина представляет собою соединение пародии и небылицы,– отмечал В.Я. Пропп.– В основе пародийной части лежат, возможно, не сохранившиеся в русской эпической традиции сюжеты о борьбе поляниц-богатырш. В пародии рассказывается о некоем городе, которым управляла княгиня-льдина: со «смертью» льдины, растаявшей весной, между обитательницами города происходят раздоры, которые выливаются в целое побоище. Как обычно в русских былинных пародиях, это побоище изображается как кухонная драка».

Но помимо эпических мотивов – предполагаемых или явных – в этой небылице отражены черты чисто северные, беломорские. Это само таяние льдины на Петров день (29 июня), описание побоища щиками-юхватами (штыками-ухватами) и палицами-мутовками (палками для взбалтывания), а главное – описание черненого, изукрашенного поморского корабля, на носу которого «росматривщицок» – серый волк, на корме «росправщицок» – бык, а в середине «роспорядчицок» – заяц.

«Небылица про льдину» записана Н.Е. Ончуковым от одного из представителей знаменитого печорского рода сказителей Чупровых Григория Ивановича Чупрова (Печорские былины, № 41).

Усы

Эй усы, усы проявились на Руси,

Проявляйся усы за Москвою за рекой,

За Москвою за рекой, за Смородиною.

У них усики малы, колпачки на них белы,

На них шапочки собольи, верхи бархатные,

Ой смурые, кафтаны, полы стеганые,

Пестрединные рубашки, золотны воротники,

С напуском чулки, с раструбами сапоги,

Ой шильцом пятки, остры носки,

Еще окол каблучка хоть яичком покати.

Собирались усы во единый круг,

Ой один из них усища-атаманища,

Атаманища он в озямище,

Еще крикнул ус громким голосом своим:

«Ой нуте-тка, усы, за свои промыслы!

Вы берите топоры, вы рубите вереи.[188]

За Москвою за рекою что богат мужик живет,

Он хлеба не сеет, завсегда рожь продает,

Он пшеницы не пашет, всё калачики ест,

Он солоду не ростит, завсегда пиво варит,

Он денежки сбирает да в кубышечку кладет.

Мы пойдемте, усы, разобьемте мужика.

И вы по полю идите не гаркайте,

По широкому идите не шумаркайте,

На забор лезьте не стукайте.

По соломушке идите не хрястайте,

Вы во сенички идите не скрывайте,

Во избушку идите, всё молитовку творите».

Ой тот ли усища-атаманища

Он входит в избу, сам садится в переду,

Ничего не говорит, только усом шевелит,

По сторонушкам он посматривает.

Наныряла, нашвырялась полна изба усов —

Ой на печи усы и под печью усы,

На полатях усы, на кроватушке усы.

Ой крикнул ус громким голосом своим:

«Ой ну-ка, хозяин, поворачивайся,

Поворачивайся, раскошеливайся.

Ты давай нам, хозяин, позавтрикати».

Ой хозяин тот несет пять пуд толокна,

А хозяюшка несет пять ведр молока.

И мы попили, поели, мы позавтракали.

«Ой ну-ка, хозяин, поворачивайся,

Поворачивайся, раскошеливайся.

Ты давай там, хозяин, деньжоночки свои».

Ой хозяин тот божится: «Нету денег у меня»;

А хозяюшка ратится: «Нет ни денежки у нас»;

Одна девка за квашней: «Нет полушки за душой»;

А дурак сын на печи он свое говорит:

«Ах как-то у батьки будто денег нет,—

На сарае сундук во пшеничной во муке».

Ой крикнул ус громким голосом своим:

«Ой нуте-ко, усы, за свои промыслы!

Ой кому стало кручинно, нащепай скоро лучины,

Вы берите уголек, раскладывайте огонек,

Вы кладите хозяина с хозяюшкою».

Ой хозяин на огне изгибается,

А огонь около его увивается.

А хозяин-от дрожит, за кубышечкой бежит,

А хозяюшка трясется да с яндовочкой несется.

Ой мы денежки взяли и спасибо не сказали,

Мы мошоночки пошили, кошельки поплели,

Сами вниз поплыли, воровать еще пошли.

Дурень

А жил-был дурень,

А жил-был бабин,[189]

Вздумал он, дурень,

На Русь гуляти,

Людей видати,

Себя казати.

Отшедши дурень

Версту, другу,

Нашел он, дурень,

Две избы пусты,

В третьей людей нет.

Заглянет в подполье,

В подполье черти

Востроголовы,

Глаза, что часы,

Усы, что вилы,

Руки, что грабли,

В карты играют,

Костью бросают,

Деньги считают,

Груды переводят.

Он им молвил:

«Бог вам в помочь,

Добрым людям».

А черти не любят,—

Схватили дурня,

Зачали бити,

Зачали давити,

Едва его, дурня,

Жива отпустили.

Пришедши дурень

Домой-то, плачет,

Голосом воет,

А мать – бранити,

Жена – пеняти,

Сестра та – также:

«Ты глупый дурень,

Неразумный бабин!

То же бы ты слово

Не так же бы молвил,—

А ты бы молвил:

«Будь, враг, проклят

Именем господним,

Во веки веков, аминь».

Черти б убежали,

Тебе бы, дурню,

Деньги достались

Вместо кладу».

«Добро ты, баба,

Баба-бабариха,

Мать Лукерья,

Сестра Чернава!

Потом я, дурень,

Таков не буду».

Пошел он, дурень,

На Русь гуляти,

Людей видати,

Себя казати.

Увидел дурень

Четырех братов,—

Ячмень молотят,

Он им молвил:

«Будь, враг, проклят,

Именем господним».

Бросилися к дурню

Четыре брата,

Стали его бити,

Стали колотити,

Едва его, дурня,

Жива отпустили.

Пришедши дурень

Домой-то, плачет,

Голосом воет,

А мать – бранити,

Жена – пеняти,

Сестра та – также:

«А глупый дурень,

Неразумный бабин!

То же бы ты слово

Не так же бы молвил,—

Ты бы молвил

Четырем братам,

Крестьянским детям:

“Дай вам боже

По сту на день,

По тысячу на неделю”».

«Добро ты, баба,

Баба-бабариха,

Мать Лукерья,

Сестра Чернава!

Потом я, дурень,

Таков не буду».

Пошел же дурень,

Пошел же бабин

На Русь гуляти,

Себя казати.

Увидел дурень —

Семь братов

Мать хоронят,

Отца поминают,

Все тут плачут,

Голосом воют,

Он им молвил:

«Бог вам в помочь,

Семь вас братов,

Мать хоронити,

Отца поминати.

Дай господь бог вам

По сту на день,

По тысячу на неделю».

Схватили его, дурня,

Семь-то братов,

Зачали его бити,

По земле таскати,

В г…. валяти,

Едва его, дурня,

Жива отпустили.

Идет-то дурень

Домой-то, плачет,

Голосом воет,

Мать – бранити,

Жена – пеняти,

Сестра та – также:

«А глупый дурень,

Неразумный бабин!

То же бы ты слово

Не так же бы молвил,—

Ты бы молвил:

“Прости, боже,

Благослови,

Дай, боже, им

Царство небесное,

В земли упокой,

Пресветлый рай всем”.

Тебе бы, дурня,

Блинами накормили,

Кутьей напитали».

«Добро ты, баба,

Баба-бабариха,

Мать Лукерья,

Сестра Чернава!

Потом я, дурень,

Таков не буду».

Пошел он, дурень,

На Русь гуляти, Себя казати,

Людей видати.

Встречу ему свадьба,

Он им молвил:

«Прости, боже,

Бласлови,

Дай вам, господь бог,

Царство небесно,

В земле упокой,

Пресветлый рай всем».

Наехали дружки,

Наехали бояра,[190]

Стали дурня

Плетьми стегати,

По ушам хлестати.

Пошел, заплакал,

Идет да воет,

Мать – его бранити,

Жена – пеняти,

Сестра та – также:

«Ты глупый дурень,

Неразумный бабин!

То же бы слово

Не так же бы молвил,—

Ты бы молвил:

“Дай господь бог

Новобрачному князю

Сужено поняти,[191]

Под злат венец стати,

Закон божий прияти,

Любовно жити,

Детей сводити”».

«Потом я, дурень,

Таков не буду».

Пошел он, дурень,

На Русь гуляти,

Людей видати,

Себя казати.

Встречу дурню

Идет старец,

Он ему молвил:

«Дай господь бог

Тебе же, старцу,

Сужено поняти,

Под злат венец стати,

Любовно жити,

Детей сводити».

Бросился старец,

Схватил его, дурня,

Стал его бити,

Костылем коверкать,

И костыль изломал весь:

Не жаль старцу

Дурака-то,

Но жаль ему, старцу,

Костыля-то.

Идет-то дурень

Домой-то, плачет,

Голосом воет,

Матери расскажет,

Мать – его бранити,

Жена – журити,

Сестра та – также:

«Ты глупый дурень,

Неразумный бабин!

То ж бы ты слово

Не так же бы молвил,—

Ты бы молвил:

“Благослови меня, отче,

Святы игумен!”

А сам бы мимо».

«Добро ты, баба,

Баба-бабариха,

Мать Лукерья,

Сестра Чернава!

Потом я, дурень,

Впредь таков не буду».

Пошел он, дурень,

На Русь гуляти,

В лесу ходити,

Увидел дурень

Медведя за сосной —

Кочку роет,

Корову коверкат,

Он ему молвил:

«Благослови мя, отче,

Святы игумен,

А от тебя дух дурен».

Схватал его медведь-от,

Зачал драти

И всего ломати,

И смертно коверкать,

И ж… выел,

Едва его, дурня,

Жива оставил.

Пришедчи дурень

Домой-то, плачет,

Голосом воет,

Матери расскажет,

Мать – его бранити,

Жена – пеняти,

Сестра та – также:

«Ты глупый дурень,

Неразумный бабин!

То же бы слово

Не так же бы молвил,—

Ты бы зауськал,

Ты бы загайкал,

Ты бы заулюкал».

«Добро ты, баба,

Баба-бабариха,

Мать Лукерья,

Сестра Чернава!

Потом я, дурень,

Таков не буду».

Пошел же дурень

На Русь гуляти,

Людей видати,

Себя казати.

Будет дурень[192]

В чистом поле,

Встречу дурню

Шишков-полковник.

Он зауськал,

Он загайкал,

Он заулюкал,—

Наехали на дурня Солдаты,

Набежали драгуны,

Стали дурня бити,

Стали колотити,

Тут ему, дурню,

Голову сломили

И под кокору бросили,

Тут ему, дурню,

И смерть случилась.

Птицы

Ди-ди-ди-ди, отчего же зима становилась?

Становилася зима да от морозов.

От зимы становилась весна красна,

От весны становилось лето тепло,

А от лета становилась богатая осень.

Из-за синего Дунайского моря

Налетала малая птица-певица,

Садилася птица-певица

Во зеленой да во садочек,

Ко тому ли ко белому шатрочку.

Налетали малые птицы стадами,

Садилися птички рядами,

И в одну сторону да головами;

И начали птицу пытати:

«Ай же ты малая птица-певица!

И кто у нас за морем больший,

Кто за Дунайскиим меньший?»

«На море колпик[193] -от царик,

Белая колпица царица.

На море гуси бояра,

А лебедушки были княгини.

На море рябчик стряпчий,

На море жерав[194] перевозчик —

Ножки беленьки тоненьки,

Штаники синеньки узеньки.

По морю ходит и бродит,

Штаничков не омочит,

Кажную птицу перевозит,

Тем свою голову кормит.

На море дятел-от плотник,

Кажное дерево пытает,

С того ради сыт пребывает,

А ластушки были девицы,

Утушки молодицы,

Чаюшки водоплавки,

Гагары были рыболовки,

Много-то рыбы наловили;

Рыба на горы не бывала,

Крестьяны рыбы не едали,

Всё она крестьян разоряет,

С того ради сыта пребывает.

А синочка[195] – она худая,

Часто, милая, она хворает,

Долго она не умирает,

Работы работать не умеет,

Казаков[196] нанимать она не смыслит.

А ворона – богатая птица —

В летнюю пору по суслонам,

А в зимнюю пору по ометам

Всё она крестьян разоряет,

С того ради сыта пребывает.

А воробьи были царские холопы —

Кольё-жердьё подбирают

И загороды подпирают,

Всё они крестьян разоряют,

С того ради сыты пребывают.

А голубь-от на море попик,

А голубушки попадьюшки,

А сорока кабацкая женка,

С ножки на ножку ступает,

Черные чеботы топтает,

Высоко чеботы топтает,

Удалых молодцов прельщает.

Петушки – казачки были донские,

Имеют по хозяйке и по две,

По целому да по десятку,

И не так, как на Руси крестьянин,—

Одну-то он женку имеет,

И той нарядить не умеет,

А бить-то ей, бедной, не смеет.

Курица – победная птица,

По улице ходит и бродит,

Кто ведь ей изымает,[197]

Всяк яйца у ней пытает».

Из монастыря Боголюбова старец Игренище

Из монастыря да из Боголюбова

Идет старец Игренище,

Игренище-Кологренище.

А и ходит он по монастырю,

Просил честныя милостыни,

А чем бы старцу душа спасти,

Душа спасти, душа спасти,

Ее в рай спусти.

Пришел-от старец под окошечко

Человеку к тому богатому,

Просил честную он милостыню,

Просил редечки горькия,

Просил он капусты белыя,

А третьи – свеклы красныя.

А тот удалой господин добре

Сослал редечки горькия,

И той капусты он белыя,

А и той свеклы красныя

А с тою ли девушкой поваренною.

Сошла та девка со двора она

И за те за вороты за широкие,

Посмотрит старец Игренище-Кологренище

Во все четыре он во стороны,

Не увидел старец он, Игренище,

Во всех четырех во сторонушках

Никаких людей не шатаются, не мотаются.

А не рад-то старец Игренище

А и тое ли редечки горькия,

А и той капусты белыя,

А третьи – свеклы красныя,

А и рад-то девушке-чернаушке.

Ухватил он девушку-чернаушку,

Ухватил он, посадил в мешок

Со тою-то редькою горькою,

И со той капустой белою,

И со той со свеклой со красною.

Пошел он, старец, по монастырю,

И увидели его ребята десятильниковы,

И бросалися ребята они ко старцу,

Хватали они шилья сапожные,

А и тыкали у старца во шелковый мешок:

Горька редька рыхнула,

Белая капуста крикнула,

Из красной свеклы рассол пошел.

А и тута ребята десятильниковы,

Они тута со старцом заздорили,

А и молится старец Игренище,

А Игренище-Кологренище:

«А и гой вы еси, ребята десятильниковы!

К чему старца меня обидите?

А меня вам обидеть – не корысть получить.

Будьте-тко вы ко мне в Боголюбов монастырь,

А и я молодцов вас пожалую:

А и первому дам я пухов колпак,

А и век-то носить да не износить;

А другому дам камчат кафтан,

Он весь-то во тетивочку повыстеган;

А третьему дам сапожки зелен сафьян

Со темя подковами немецкими».

А и тут ему ребята освободу дают.

И ушел он, старец Игренище,

А Игренище-Кологренище,

Во убогие он свои во келейки.

А по утру раненько-ранешенько

Не изробели ребята десятильниковы,

Промежу обедни, заутрени

Пришли они ребята десятильниковы.

Ходят они по монастырю,

А и спрашивают старца Игренища,

Игренища-Кологренища.

А увидел сам старец Игренище,

Он тем-то ребятам поклоняется,

А слово сказал им ласковое:

«Вы-то ребята разумные,

Пойдем-ка ко мне, в келью идите».

Всем рассказал им подробно всё:

А четверть пройдет – другой приди;

А всем рассказал, по часам рассказал,

Монастырски часы были верные.

А который побыстрее их, ребят,

Наперед пошел ко тому старцу ко Игренищу.

Первому дал он пухов колпак:

А брал булаву в полтретья пуда,

Бил молодца по буйной голове —

Вот молодцу пухов колпак,

Век носить да не износить,

Поминать старца Игренища.

И по тем часам монастырским

А и четверть прошла – другой пришел.

А втапоры старец Игренище

Другому дает кафтан камчатной:

Взял он плетку шелковую,

Разболок его, детину, донага,

Полтораста ударов ему в спину влепил.

А и тех-то часов монастырскиех,

Верно, та их четверть прошла,

И третей молодец во монастырь пошел

Ко тому старцу ко Игренищу,

Допрошался старца Игренища.

И завидел его старец Игренище,

Игренище-Кологренище,

А скоро удобрил и в келью взял.

Берет он полено березовое,

Дает ему сапожки зелен сафьян:

А и ногу перешиб и другую подломил.

«А вот вы, ребята десятильниковы.

Всех я вас, ребят, пожаловал:

Первому дал пухов колпак,

А и тот ведь за кельей валяется;

А другому наделил я камчат кафтан,

А и тот не ушел из монастыря;

А последнему – сапожки зелен сафьян,

А и век ему носить да не износить».

Чурилья-игуменья и Стафида Давыдовна

Да много было в Киеве божьих церквей,

А больше того почестных монастырей,

А и не было чуднее Благовещения Христова.

А у всякой церкви по два попа,

Кабы по два попа, по два дьякона

И по малому певчему по дьячку,

А у нашего Христова Благовещенья честного

А был у нас-де Иван-пономарь,

А горазд-де Иванушка он к заутрени звонить.

Как бы русая лиса голову клонила,

Пошла-то Чурилья к заутрени.

Будто галицы летят, за ней старицы идут,

По правую руку идут сорок девиц,

Да по левую руку друга сорок,

Позади ее девиц и сметы нет.

Девицы становилися по крылосам,

Честна Чурилья в алтарь пошла.

Запевали тут девицы четью петь,

Запевали тут девицы стихи верхние,

А поют они на крылосах, мешаются,

Не по-старому поют, усмехаются.

Проговорит Чурилья-игуменья:

«А и Федор-дьяк, девий староста!

А скоро походи ты по крылосам,

Ты спроси, что поют девицы, мешаются,

А мешаются девицы, усмехаются».

А и Федор-дьяк стал их спрашивать:

«А и старицы-черницы, души красные девицы!

А что вы поете, сами мешаетесь,

Промежу собой, девицы, усмехаетесь?»

Ответ держут черницы, души красные девицы:

«А и Федор-дьяк, девий староста!

А сором сказать, грех утаить,

А и то поем, девицы, мешаемся,

Промежу собой, девицы, усмехаемся:

У нас нету дьяка-запевальщика,

А и молоды Стафиды Давыдовны,

А Иванушки-пономаря зде же нет».

А сказал он, девий староста,

А сказал Чурилье-игуменье:

«То девицы поют, мешаются,

Промежу собой девицы усмехаются —

Нет у них дьяка-запевальщика,

Стафиды Давыдьевны, пономаря Иванушки».

И сказала Чурилья-игуменья:

«А ты Федор-дьяк, девий староста!

А скоро, ты побеги по монастырю,

Скоро обойди триста келий,

Поищи ты Стафиды Давыдьевны.

Али Стафиды ей мало можется,[198]

Али стоит она перед богом молится».

А Федор-дьяк заскакал, забежал,

А скоро побежал по монастырю,

А скоро обходил триста келий,

Дошел до Стафидины келейки:

Под окошечком огонек горит,

Огонек горит, караул стоит.

А Федор-дьяк караул скрал,

Караулы скрал, он в келью зашел,

Он двери отворил и в келью зашел:

«А и гой еси ты, Стафида Давыдьевна,

А и царская ты богомольщица,

А и ты же княженецка племянница!

Не твое-то дело тонцы водить,[199]

А твое бо дело богу молитися,

К заутрени идти».

Бросалася Стафида Давыдьевна,

Наливала стакан винца-водки добрыя,

И другой – медку сладкого,

И пали ему, старосте, во резвы ноги:

«Выпей стакан зелена вина,

Другой – меду сладкого

И скажи Чурилье-игуменье,

Что мало Стафиде можется,

Едва душа в теле полуднует».

А и тот-то Федор, девий староста,

Он скоро пошел ко заутрени

И сказал Чурилье-игуменье,

Что той-де старицы Стафиды Давыдьевны

Мало можется, едва ее душа полуднует.

А и та-то Чурилья-игуменья,

Отпевши заутрени,

Скоро поезжала по монастырю,

Испроехала триста келий

И доехала ко Стафиды кельице,

И взяла с собою питья добрые,

И стала ее лечить-поить.

Гость Терентище

В стольном Нове-городе,

Было в улице во Юрьевской,

В слободе было Терентьевской,

А и жил-был богатый гость,

А по именю Терентище.

У него двор на целой версте,

А кругом двора железный тын,

На тынинке по маковке,

А и есть по земчужинке;

Ворота были вальящатые,

Вереи хрустальные,

Подворотина – рыбий зуб.

Середи двора гридня стоит,

Покрыта седых бобров,

Потолок черных соболей,

А и матица таволженая,

Была печка муравленая,

Середа была кирпичная,

А на середи кроватка стоит,

Да кровать слоновых костей,

На кровати перина лежит,

На перине зголовье лежит,

На зголовье молодая жена

Авдотья Ивановна.

Она с вечера трудна-больна,

Со полуночи недужна вся:

Расходился недуг в голове,

Разыгрался утин в хребте,

Пустился недуг к сердцу,

А пониже ее пупечка,

Да повыше коленечка,

Межу ног, килди-милди.

Говорила молодая жена

Авдотья Ивановна:

«А и гой еси, богатый гость,

И по именю Терентище!

Возьми мои золотые ключи,

Отмыкай окован сундук,

Вынимай денег сто рублей,

Ты поди дохтуров добывай,

Волхи[200] -то спрашивати».

А втапоры Терентище

Он жены своей слушался —

И жену-то во любви держал.

Он взял золоты ее ключи

Отмыкал окован сундук,

Вынимал денег сто рублев

И пошел дохтуров добывать.

Он будет, Терентище,

У честна креста Здвиженья,

У жива моста калинова,

Встречу Терентищу

Веселые скоморохи.

Скоморохи – люди вежливые,

Скоморохи очес(т)ливые,

Об ручку Терентью челом:

«Ты здравствую, богатый гость,

И по именю Терентище!

Доселева те слыхом не слыхать,

И доселева видом не видать,

А и ноне ты, Терентище,

А и бродишь по чисту полю,

Что корова заблудящая,

Что ворона залетящая».

А и на то-то он не сердится,

Говорит им Терентище:

«Ай вы гой еси, скоморохи-молодцы!

Что не сам я, Терентий, зашел,

И не конь-то богатого завез,

Завела нужда-бедность…

У мене есть молодая жена

Авдотья Ивановна.

Она с вечера трудна-больна,

Со полуночи недужна вся:

Расходился недуг в голове,

Разыгрался утин в хребте;

Пустился недуг к сердцу,

Пониже ее пупечка,

Что повыше коленечка,

Межу ног, килди-милди.

А кто бы-де недугам пособил,

Кто недуги бы прочь отгонял

От моей молодой жены,

От Авдотьи Ивановны,

Тому дам денег сто рублев

Без единыя денежки».

Веселые молодцы догадалися,

Друг на друга оглянулися,

А сами усмехнулися:

«Ай ты гой еси, Терентище,

Ты нам что за труды заплатишь?»

«Вот вам даю сто рублев».

Повели его, Терентища,

По славному Нову-городу,

Завели его, Терентища,

Во тот во темный ряд,

А купили шелковый мех,

Дали два гроша мешок;

Пошли они во червленый ряд,

Да купили червленый вяз,

А и дубину ременчатую —

Половина свинцу налита,

Дали за нее десять алтын.

Посадили Терентища

Во тот шелковый мех,

Мехоноша за плеча взял.

Пошли они, скоморохи,

Ко Терентьеву ко двору.

Молода жена опасливая

В окошечко выглянула:

«Ай вы гой еси, веселые молодцы!

Вы к чему на двор идете,

Что хозяина в доме нет».

Говорят веселые молодцы:

«А и гой еси, молодая жена

Авдотья Ивановна!

А и мы тебе челобитье несем

От гостя богатого,

И по имени Терентища».

И она спохватилася за то:

«Ай вы гой еси, веселые молодцы!

Где его видели,

А где про его слышали?»

Отвечают веселые молодцы:

«Мы его слышали,

Сами доподлинно видели

У честна креста Здвиженья,

У жива моста калинова,

Голова по собе его лежит,

И вороны в …. клюют».

Говорила молодая жена

Авдотья Ивановна:

«Веселые скоморохи!

Вы подите во светлую гридню,

Садитесь на лавочки

Поиграйте во гусельцы

И пропойте-ка песенку

Про гостя богатого,

Про старого ……. сына,

И по именю Терентища,—

Во дому бы его век не видать».

Веселые скоморохи

Садилися на лавочки,

Заиграли во гусельцы,

Запели они песенку:

«Слушай, шелковый мех

Мехоноша за плечами,

А слушай, Терентий-гость,

Что про тебя говорят,

Говорит молодая жена

Авдотья Ивановна

Про стара мужа Терентища,

Про старого ……. сына —

Во дому бы тебе век не видать.

Шевелись, шелковый мех

Мехоноша за плечами,

Вставай-ка, Терентище,

Лечить молодую жену,

Бери червленый вяз,

Ты дубину ременчатую,

Походи-ка, Терентище,

По своей светлой гридне

И по середи кирпищатой

Ко занавесу белому,

Ко кровати слоновых костей,

Ко перине ко пуховыя,

А лечи-ка ты, Терентище,

А лечи-ка ты молоду жену

Авдотью Ивановну».

Вставал же Терентище,

Ухватил червленый вяз,

А дубину ременчатую,—

Половина свинцу налита,

Походил он, Терентище,

По своей светлой гридне

За занавесу белую,

Ко кровати слоновых костей,

Он стал молоду жену лечить,

Авдотью Ивановну:

Шлык с головы у нее сшиб.

Посмотрит Терентище

На кровать слоновых костей,

На перину на пуховую,—

А недуг-от пошевеливается

Под одеялом соболиныем.

Он-то, Терентище,

Недуга-то вон погнал

Что дубиною ременчатою,

А недуг-от непутем

В окошко скочил,

Чуть головы не сломил,

На карачках ползает,

Едва от окна отполоз.

Он оставил, недужище,

Кафтан хрущатой камки,

Камзол баберековыи,

А и денег пятьсот рублев.

Втапоры Терентище

Дал еще веселым

Другое сто рублев

За правду великую.

Хмель себя выхваляет

Как во городе было во Казани,

Середи было торгу на базаре,

Хмелюшка по выходам гуляет,

Еще сам себя хмель выхваляет:

«Уж как нет меня, хмелюшки, лучше,

Хмелевой моей головки веселее.

Еще царь-государь меня знает,

Князья и бояре почитают,

Священники-попы благословляют;

Еще свадьбы без хмеля не играют,

И крестины без хмеля не бывают.

Еще где подерутся, побранятся,

Еще тут без хмеля не мирятся.

Один лих на меня мужик-крестьянин —

Он частешенько в зеленый сад гуляет,

Он глубокие борозды копает,

Глубоко меня, хмелину, зарывает,

В ретиво сердце тычиночки втыкает,

Застилает мои глазоньки соломкой.

Уж как тут-то я, хмель, догадался,

По тычинкам вверх подымался,

Я отростил свои ярые шишки.

Но всё лих на меня мужик-крестьянин —

Почастешеньку в зеленый сад гуляет.

Он и стал меня, хмелюшку, снимати

И со малыми ребятами щипати,

В кульё, в рогожи зашивати,

По торгам, по домам развозити.

Меня стали мужики покупати

И со суслицем во котликах топити.

Уж как тут-то я, хмель, догадался,

Я из котлика вон подымался,

Не в одном мужике разыгрался —

Я бросал их о тын головами,

А во скотский помет бородами».

Небылица про льдину

Во стольнём во городе во Туесе1),

За сильней стеной было за жорновом,

Серьди было моря ище синего,

Была тут-де льдина нонь великая,

На ей был городовоёт хозяин-от,

Нековды эта льдина-та не таела.

Серьди лета это было ё Петрова дни,

Тогда эта льдина-та ростаела,

Потонул городовоёт хозяин-от,

Да не стало во городе хозяина,

Да не стало во Туесе управителя.

Роздралисе невески со золовками,

Тима нонь саблями всё лопатами,

Тима ле щиками все юхватами,

Буёвыма палицьми мутовками,

Питья-ти ле ества они в полон взяли,

Пироги, это ле шаньги во полон взяли,

Пресно-то молоко ёни пролили,

Пресно-то молоко-то на юход ушло.

Бежит как караблицок из-за моря,

Не чернёной караблицок не кочёрненой,

Хорошо был караблик изукрашеной,

Да нос-от корма да по звериному,

Ищэ хоботы мецёт по змеиному,

На носу-ту стоит росматривщицок,

На кормы-то сидит ищэ росправщицок,

Середи как караблицька роспорядчицок:

Серой-от волк стоит розсматриват,

Да бык-от сидит ищэ прнправливат,

Медведь-от сидит роспоряжаитце,

Да заюшко тут бицевой бежит,

Лисичка из-за куста выглядыват,

Как бы зайка укрась, как бицеву сорвать.

1) Туес – берестяной короб.

Мызгирь

Покрай болота

Жили мызгирь толстой, клоп простой,

Мошка грязная да строка некошная.

Оне завоевали да и заворовали:

Дескать, друг дружку и хвалят,

А мызгиря-борца ни к какому делу не ставят. Мызгирь

Это мызгирю стало вредно,

И взяло его великое непокорство.

Он с горя, с кручинушки

Став ножками трясти

Да мережки плести

И ставить те мережки

На те путь-дорожки,

Где мухи летали.

Одна муха летала

Да в мережку и попала.

Мызгирь пришов,

В мережке муху застав,

Ей руки и ноги связав,

И став ее бити-губити

И за горло давити,

А муха – вопити.

Услыхала их драку

Честная госпожа оса,

Она прилетела вскорости, боса,

Да и без пояса;

Прилетала да тут же в мережку и попала.

Однако рвалась да вырвалась И говорит:

«Ах, тошно моей голове!

Лучше жить бы мне в своей слободе:

У нас выезды частые,

А у мызгиря-плута вымыслы лихие!»

Вот пропустили про мызгиря такую славу,

Будто бы его заслали в дальные города,

Будто бы ему там руки и ноги связали

И шибко-больно наказали.

Мухи после того первую весенку летают

Да песенки попевают;

В барские домы летают,

Крестьян кусают.

Как бы муху убить —

А она, плутовка, и улетит.

Вот мухам стал жар не по нутру,

И все они забрались в дуплю.

А мызгирь тогда сдружився

С клопом да с тараканом

И со сверчком-блинником,

Адуплю подтенётив.

Сверчок-смовчок

Сев на ковер

Да в дудочку заиграв,

А клоп да таракан

Учали бить в барабан.

Мухи такого шума испугались,

Тотчас все из дупли выбирались,

И все в мережку попались.

Мызгирь их в мережке застав,

Всем им руки-ноги связав,

И учав их бити-губити

И больно за горло давити,

А мухи – вопити.

Тогда мухи, которые и по воле летали,

К мызгирю тут прилетали,

И все ему покорство воздавали.

Сему судному делу конец,

А хто сложив про его – молодец!

Смерть и похороны комара

Далече, далече в чистом поле

Стояли тут два садочка,

В них вспевали два щеглочка,

Что будет-де свадьба веселая,

Веселая, матерая:

Комар с мухой сговорится

И будет он на ней жениться. Смерть и похороны комара

Прилетали к комару слепни,

Они свадьбу разбивали:

«Худа тебе муха невеста:

Прясти она не умеет,

Ни в кроснах ткати не знает».

Полетел комарище в лесище,

Садился комар на дубище.

Дуб под ним зашатался,

Комар весьма испугался.

Стукнуло-грянуло в лесе —

Комар с дубу свалился;

Упал он на коренище,

Сбил он до костей плечище.

Слеталися мухи-горюхи,

Славныя громотухи;

Стали они возглашати,

О комаре вспоминати:

«Ах ты, наш милый комаре,

Жаль нам тебя, и не вмале!

Как будешь ты умирати,

Где нам тебя погребати?» —

«Похороните меня в поле,

При зеленой дуброве!»

Там-то казаки бывают,

Часто горелку вспивают,

Туды и сюды обзирают,

Про комара вспоминают:

«Тут-де лежит комарище,

Славный донской казачище;

Лежит тут брат комару,

Сей дубровы господарю!»

Народный театр

Терминологическая справка

Народная драма: «Мнимый барин», «Маврух», «Параша» – из сборника Н. Онучкова «Северные народные драмы»; 1911, «Кедрил-обжора» – из «Записок из Мертвого дома» Ф. Достоевского; «Лодка» – из хрестоматии В. Сиповского, 1908.

Театр Петрушки: «Петрушка». *Народная кукольная комедия*– из книги А. Алферова, А. Грузинского «Допетровская литература и народная поэзия», 1911.

Вертепные представления: «Царь Ирод» – из статьи В. Добровольского в книге «Известия ОРЯС», 1908; «Барыня и доктор» – из книги Е. Романова «Белорусские тексты вертепного действа», 1898.

Раек: приводятся тексты из книги Д. Ровинского «Русские народные картинки», 1881, и статьи А. Гациского в книге «Нижегородка. Путеводитель и указатель по Нижнему Новгороду и Нижегородской ярмарке», 1875.

Медвежья потеха: приводятся тексты из книг Д. Ровинского, С. Максимова, а также лубочной картинки 1866 года, печатанной в литографии А. Аврамова.

Прибаутки ярмарочных зазывал: приводятся тексты, записанные в конце XIX века.

<…> Затем следовала вторая пьеса, драматическая – «Кедрил-обжора». Название меня очень заинтересовало; но как я ни расспрашивал об этой пьесе, ничего не мог узнать предварительно. Узнал только, что взята она не из книги, а «по списку»; что пьесу достали у какого-то отставного унтер-офицера в форштадте,[206] который, верно, сам когда-нибудь участвовал в представлении ее на какой-нибудь солдатской сцене.

У нас, в отдалённых городах и губерниях, действительно есть такие театральные пьесы, которые, казалось бы, никому не известны, может быть, нигде никогда не напечатаны, но которые сами собою откуда-то явились и составляют необходимую принадлежность всякого народного театра в известной полосе России.

Кстати: я сказал «народного театра». Очень бы и очень хорошо было, если б кто из наших изыскателей занялся новыми и более тщательными, чем доселе, исследованиями о народном театре, который есть, существует и даже, может быть, не совсем ничтожный. Я верить не хочу, чтоб всё, что я потом видел у нас, в нашем острожном театре, было выдумано нашими же арестантами. Тут необходима преемственность предания, раз установленные приёмы и понятия, переходящие из рода в род и по старой памяти. Искать их надо у солдат, у фабричных, в фабричных городах, и даже по некоторым незнакомым бедным городкам у мещан. Сохранились тоже они по деревням и по губернским городам между дворовыми больших помещичьих домов. Я даже думаю, что многие старинные пьесы расплодились в списках по России не иначе как через помещицкую дворню. У прежних старинных помещиков и московских бар бывали собственные театры, составленные из крепостных артистов. И вот в этих-то театрах и получилось начало нашего народного драматического искусства, которого признаки несомненны.

Что же касается до «Кедрила-обжоры», то, как ни желалось мне, я ничего не мог узнать о нём предварительно, кроме того, что на сцене появляются злые духи и уносят Кедрила в ад. Но что такое значит Кедрил и, наконец, почему Кедрил, а не Кирилл? Русское ли это или иностранное происшествие? – этого я никак не мог добиться. <…>

Проиграли ещё раз увертюру «Сени, мои сени», и вновь поднялась занавесь. Это Кедрил. Кедрил что-то вроде Дон Жуана; по крайней мере, и барина и слугу черти под конец пьесы уносят в ад. Давался целый акт, но это, видно, отрывок; начало и конец затеряны. Толку и смыслу нет ни малейшего. Действие происходит в России, где-то на постоялом дворе. Трактирщик вводит в комнату барина в шинели и в круглой исковерканной шляпе. За ним идёт его слуга Кедрил с чемоданом и с завёрнутой в синюю бумагу курицей. Кедрил в полушубке и в лакейском картузе. Он-то и есть обжора. Играет его арестант Поцейкин, соперник Баклушина; барина играет тот же Иванов, что играл в первой пьесе благодетельную помещицу. Трактирщик, Нецветаев, предуведомляет, что в комнате водятся черти, и скрывается. Барин мрачный и озабоченный бормочет про себя, что он это давно знал, и велит Кедрилу разложить вещи и приготовить ужин. Кедрил трус и обжора. Услышав о чертях, он бледнеет и дрожит как лист. Он бы убежал, но трусит барина. Да сверх того ему и есть хочется. Он сластолюбив, глуп, хитёр по-своему, трус, надувает барина на каждом шагу и в то же время боится его. Это замечательный тип слуги, в котором как-то неясно и отдалённо сказываются черты Лепорелло, и действительно замечательно переданный. Поцейкин с решительным талантом и, на мой взгляд, актер еще лучше Баклушина. Я, разумеется, встретясь на другой день с Баклушиным, не высказал ему своего мнения вполне; я бы слишком огорчил его. Арестант, игравший барина, сыграл тоже недурно. Вздор он нёс ужаснейший, ни на что не похожий; но дикция была правильная, бойкая, жест соответственный. Покамест Кедрил возится с чемоданами, барин ходит в раздумьи по сцене и объявляет во всеуслышание, что в нынешний вечер конец его странствованиям. Кедрил любопытно прислушивается, гримасничает, говорит a parte[207] и смешит с каждым словом зрителей. Ему не жаль барина; но он слышал о чертях; ему хочется узнать, что это такое, и вот он вступает в разговоры и в расспросы. Барин, наконец, объявляет ему, что когда-то в какой-то беде он обратился к помощи ада, и черти помогли ему, выручили; но что сегодня срок и, может быть, сегодня же они придут, по условию, за душой его. Кедрил начинает шибко трусить. Но барин не теряет духа и велит ему приготовить ужин. Услыша про ужин, Кедрил оживляется, вынимает курицу, вынимает вино, и нет-нет, а сам отщипнёт от курицы и отведает. Публика хохочет. Вот скрипнула дверь, ветер стучит ставнями, Кедрил дрожит и наскоро, почти бессознательно упрятывает в рот огромный кусок курицы, который и проглотить не может. Опять хохот. – Готово ли? – кричит барин, расхаживая по комнате. – Сейчас, сударь, я вам приготовлю, – говорит Кедрил, сам садится за стол и преспокойно начинает уплетать барское кушанье. Публике, видимо, любо проворство и хитрость слуги и то, что барин в дураках. Надо признаться, что и Поцейкин стоил действительно похвалы. Слова: «сейчас, сударь, я вам приготовлю», он выговорил превосходно. Сев за стол, он начинает есть с жадностью и вздрагивает с каждым шагом барина, чтоб тот не заметил его проделок; чуть тот повернётся на месте, он прячется под стол и тащит с собой курицу. Наконец он утоляет свой

первый голод; пора подумать о барине. – Кедрил, скоро ли ты? – кричит барин – Готово-с! – бойко отвечает Кедрил, спохватившись, что барину почти ничего не остается. На тарелке действительно лежит куриная ножка. Барин, мрачный и озабоченный, ничего не замечая, садится за стол, а Кедрил с салфеткой становится за его стулом. Каждое слово, каждый жест, каждая гримаса Кедрила, когда он, оборачиваясь к публике, кивает на простофилю барина, встречаются с неудержимым хохотом зрителей. Но вот, только что барин принимается есть, появляются черти. Тут уж ничего понять нельзя, да и черти появляются как-то уж слишком не по-людски: в боковой кулисе отворяется дверь и является что-то в белом, а вместо головы у него фонарь со свечой; другой фантом[208] тоже с фонарём на голове, в руках держит косу. Почему фонари, почему коса, почему черти в белом? Никто не может объяснить себе. Впрочем, об этом никто не задумывается. Так уж верно тому и быть должно. Барин довольно храбро оборачивается к чертям и кричит им, что он готов, чтоб они брали его. Но Кедрил трусит, как заяц; он лезет под стол, но, несмотря на свой испуг, не забывает захватить со стола бутылку. Черти на минуту скрываются; Кедрил вылезает из-за стола; но только что барин принимается опять за курицу, как три чёрта снова врываются в комнату, подхватывают барина сзади и несут его в преисподнюю. – Кедрил! Спасай меня! – кричит барин. Но Кедрилу не до того. Он в этот раз и бутылку, и тарелку, и даже хлеб стащил под стол. Но вот он теперь один, чертей нет, барина тоже. Кедрил вылезает, осматривается, и улыбка озаряет лицо его. Он плутовски прищуривается, садится на барское место и, кивая публике, говорит полушёпотом:

– Ну, я теперь один… без барина!..

Все хохочут тому, что он без барина; но вот он ещё прибавляет полушёпотом, конфиденциально обращаясь к публике и всё веселее и веселее подмигивая глазком:

– Барина-то черти взяли!..

Восторг зрителей беспредельный! Кроме того, что барина черти взяли, эго было так высказано, с таким плутовством, с такой насмешливо-торжествующей гримасой, что действительно невозможно не аплодировать. Но не долго продолжается счастье Кедрила. Только было он распорядился бутылкой, налил себе в стакан и хотел пить, как вдруг возвращаются черти, крадутся сзади на цыпочках и цап-царап его под бока. Кедрил кричит во всё горло; от трусости он не смеет оборотиться. Защищаться тоже не может: в руках бутылка и стакан, с которыми он не в силах расстаться. Разинув рот от ужаса, он с полминуты сидит выпуча глаза на публику, с таким уморительным выражением трусливого испуга, что решительно с него можно было бы писать картину. Наконец его несут, уносят; бутылка с ним, он болтает ногами и кричит, кричит. Крики его раздаются ещё за кулисами. Но занавес опускается и все хохочут, все в восторге… Оркестр начинает камаринскую.

Петрушка. Д. А. Ровинский

Комедия эта играется в Москве, под Новинским <…>. Содержание ее очень несложно: сперва является Петрушка, врет всякую чепуху виршами, картавя и гнусавя в нос, – разговор ведется посредством машинки, приставляемой к нёбу, над языком, точно так, как это делается у французов и итальянцев. Является Цыган, предлагает Петрушке лошадь. Петрушка рассматривает ее, причем получает от лошади брычки то в нос, то в брюхо; брычками и пинками переполнена вся комедия, они составляют самую существенную и самую смехотворную часть для зрителей. Идет торг, – Цыган говорит без машинки, басом. После длинной переторжки Петрушка покупает лошадь; Цыган уходит. Петрушка садится на свою покупку; покупка бьет его передом и задом, сбрасывает Петрушку и убегает, оставляя его на сцене замертво. Следует жалобный вой Петрушки и причитанья на преждевременную кончину доброго молодца. Приходит Доктор:

– Где у тебя болит?

– Вот здесь!

– И здесь?

– И тут.

Оказывается, что у Петрушки все болит. Но когда Доктор доходит до нежного места, Петрушка вскакивает и цап его по уху; Доктор дает сдачи, начинается потасовка, является откуда-то палка, которою Петрушка окончательно и успокаивает Доктора.

– Какой же ты Доктор, – кричит ему Петрушка, – коли спрашиваешь, где болит? На что ты учился? Сам должен знать, где болит!

Еще несколько минут – является Квартальный, или, по-кукольному, «фатальный фицер». Так как на сцене лежит мертвое тело, то Петрушке производится строгий допрос (дискантом):

– Зачем убил Доктора?

Ответ (в нос):

– Затем, что свою науку худо знает – битого смотрит, во что бит, не видит, да его же еще и спрашивает.

Слово за слово, – видно, допрос Фатального Петрушке не нравится. Он схватывает прежнюю палку, и начинается драка, которая кончается уничтожением и изгнанием Фатального, к общему удовольствию зрителей; этот кукольный протест против полиции производит в публике обыкновенно настоящий фурор.

Пьеса, кажется бы, и кончилась; но что делать с Петрушкой? И вот на сцену вбегает деревянная Собачка-пудель, обклеенная по хвосту и по ногам клочками взбитой ваты, и начинает лаять со всей мочи (лай приделан внизу из лайки).

– Шавочка-душечка, – ласкает ее Петрушка, – пойдем ко мне жить, буду тебя кошачьим мясом кормить.

Но Шавочка ни с того ни с сего хвать Петрушку за нос; Петрушка в сторону, она его за руку, он в другую, она его опять за нос: наконец Петрушка обращается в постыдное бегство. Тем комедия и оканчивается. Если зрителей много и Петрушкину свату, то есть главному комедианту, дадут на водку, то вслед за тем представляется особая интермедия под названием Петрушкинойсвадьбы. Сюжета в ней нет никакого, зато много действия. Петрушке приводят невесту Варюшку; он осматривает ее на манер лошади. Варюшка сильно понравилась Петрушке, и ждать свадьбы ему невтерпеж, почему и начинает он ее упрашивать: «Пожертвуй собой, Варюшка!» Затем происходит заключительная сцена, при которой прекрасный пол присутствовать не может. Это уже настоящий и «самый последний конец» представления; затем Петрушка отправляется на наружную сцену балаганчика врать всякую чепуху и зазывать зрителей на новое представление.

В промежутках между действиями пьесы обыкновенно представляются танцы двух Арапок, иногда целая интермедия о Даме, которую ужалила змея (Ева?); тут же, наконец, показывается игра двух Паяцев мячами и палкой. Последняя выходит у опытных кукольников чрезвычайно ловко и забавно: у куклы корпуса нет, а только подделана простая юбочка, к которой сверху подшита пустая картонная голова, а с боков – руки, тоже пустые. Кукольник втыкает в голову куклы указательный палец, а в руки – первый и третий пальцы; обыкновенно напяливает он по кукле на каждую руку и действует таким образом двумя куклами разом. При кукольной комедии бывает всегда шарманка, заменившая старинную классическую волынку, гусли и гудок; шарманщик вместе с тем служит «понукалкой», то есть вступает с Петрушкой в разговоры, задает ему вопросы и понукает продолжать вранье свое без остановки.

Мнимый барин

Действующие лица:

Барин, в военной форме, с погонами; белая соломенная шляпа, в усах, с тростью, при зонтике.

Барыня, переодетый мужчина из молодых парней: в платье, в чепце. Старается говорить тонким голосом.

Трактирщик, в рубашке навыпуск, в жилетке, на груди зелёный фартук, на голове картуз.

Лакей, во фраке или сюртуке, на голове фуражка, на руках перчатки.

Староста, старик в сермяге, на голове чёрная шляпа котлом, за плечами сумка, на ногах лапти.

Барин. Мария Ивановна, пойдёмте прогуляться. (*Входят в трактир, обращаются к Трактирщику*.) Трактирщик!

Трактирщик. Что угодно, барин голый?

Барин. Ах, как ты меня присрамил!

Трактирщик. Нет, барин добрый, я вас похвалил!

Барин. Есть ли у вас комнаты, нам с Марьей Ивановной расположиться, чаю-кофею напиться?

Трактирщик. Есть, даже шпалерами[202] обиты-с.

Барин. И пообедать будет можно?

Трактирщик. Как же-с, барин, можно-с.

Барин. А что именно будет приготовлено?

Трактирщик. Жаркое-с.

Барин. Именно какое?

Трактирщик. Комар с мухой, таракан с блохой на двенадцать частей разрезаны-с, на двенадцать персон приготовлены-с.

Барин. Мария Ивановна! Какое жаркое чудесное-с! (*К Трактирщику*.) Сколько будет стоить-с?

Трактирщик. Полтора шесть[203] гривен-с!

Барин. Болван, не лучше ли бы тебе сказать: два десять![204] <…>

Трактирщик. Нет, мы не болваны, а живем с людьми на обманы; не таких видали, без шинели домой отпускали; а если вас порядочно угостить, можно без мундира отпустить; у вас в одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи!

Барин. Ах, Мария Ивановна! Должно быть, он в наш карман лазил! Не хочу гулять, иду дальше. <…>

Является его Лакей.

Лакей. Что, барин голый?

Барин. Ах, как ты меня присрамил!

Лакей. Нет, барин добрый, я вас похвалил. <…>

Барин. Афонька малый, поил ли ты моего коня?

Лакей Как же, барин, поил!

Барин. Почему же у коня верхняя губа суха?

Лакей. Не могла достать.

Барин. А ты бы подрубил.

Лакей. Я и так по колени ноги отрубил!

Барин. Дурак, ты бы корытце подрубил!

Лакей. Я и так все четыре ноги отрубил! <…>

Староста входит, кланяется Барину и говорит.

Староста. Здорово, барин-батюшко, сивый жеребец, Михайло Петрович! Я был на Нижегородской ярмарке, видел свиней вашей породы, да вашу барскую шкуру продал, на вашу милость остался хомут очень прочен; ещё привёз вам подарочек: гуся да индюшечку.

Барин. Что ты, дурак, разве бывает свинина барской породы?

Староста. Вашего завода.

Барин. Ах да, моего завода! А разве баре носят хомуты?

Староста. Очень прочен, боярин-батюшко!

Барин. Ну, расскажи, староста, откуда ты?

Староста. Из вашей новой деревни.

Барин. Ну, как в деревне мужички поживают?

Староста. Порато дородно[205] поживают: с ножки на ножку попрыгивают, у семи дворов один топор.

Барин. Что ты болтаешь, ничего не поймёшь!

Староста. Каждый крестьянин до семи топоров имеет.

Барин. Ах, как хорошо! А что они топорами делают?

Староста. Занимаются вырубкой лесов.

Барин. Поди много вырубают?

Староста. Порато много, боярин-батюшко.

Барин. Как много?

Староста. А вот как соберутся всей-то деревней в лес, да возьмут верёвку, на вершину навяжут, клонят, клонят… всей деревней и гнут целый день.

Барин. Что ты болтаешь, ничего не поймёшь!
Староста. На каждый топор по семи дерев вырубают, боярин-батюшко!
Барин. Ах, как много! А что же они из лесу делают?
Староста. Дома строят.
Барин. Поди-ко большие?
Староста. Порато большие, боярин-батюшко!
Барин. А как большие?
Староста. А собачки бежат, в окошечко глядят.
Барин. Что ты болтаешь, ничего не поймёшь!
Староста. Курицы на крышу вылетают, с неба звёзды хватают! Я утром вышел: петух идёт, полмесяца волочёт.
Барин. А какие дома громадные! Поди у них и окна большие?
Староста. Порато большие, боярин-батюшко!
Барин. А как большие?
Староста. А вот как: долотом намечено, а буравчиком проверчено, твоя маминька, кривая сука, впялит глаза и смотрит.
Барин. Что ты болтаешь, ничего не поймёшь!
Староста. Весь свет в одно окно видно!
Барин. А какие окна большие! А у наших крестьян хлебопашество есть?
Староста. Есть, боярин-батюшко.
Барин. Поди-ко много?
Староста. Порато много, боярин-батюшко!
Барин. А как много?
Староста. В ту сторону сажень, да в другую сажень, так кругом-то четыре будет.
Барин. Что ты болтаешь, ничего не поймёшь!
Староста. Каждый крестьянин по семи десятин имеет.
Барин. Ах, как много! Поди-ко наши крестьяне на многих лошадях и на пашню выезжают?
Староста. Порато на многих.
Барин. А как на многих?
Староста. Всей деревней на одной сохе и то на козе.
Барин. Что ты болтаешь, ничего не поймёшь!
Староста. Каждый крестьянин на паре лошадей выезжает.
Барин. Ах, как много! А рано поди на пашню-то выезжают?
Староста. Порато рано, боярин-батюшко!
Барин. А как рано?
Староста. В полдень поедут, а в обед уж дома.
Барин. Что ты болтаешь, ничего не поймёшь!
Староста. С утра до вечера, с восхода до заката работают.
Барин. Ах, хорошо! У наших крестьян и посев большой бывает!
Староста. Порато большой.
Барин. А как большой?
Староста. В полосу зерно, в борозду другое, и посев весь.
Барин. Что ты болтаешь, ничего не поймёшь!
Староста. Каждый крестьянин по семь кулей высевает.
Барин. Ах, хорошо! А эдак у них и урожай хороший бывает?
Староста. Порато большой, боярин-батюшко!
Барин. А как велик?
Староста. Колос от колоса – не слышно человеческого голоса.
Барин. Что ты болтаешь?
Староста. Курице пройти нельзя!
Барин. Ах, как хорошо! А эдак и нажин большой бывает?
Староста. Порато большой, боярин-батюшко!
Барин. А как большой?
Староста. Сноп от снопа – столбовая верста, а копна от копны – день езды; тихо едешь – два

проедешь.

Барин. Что ты болтаешь, ничего не поймёшь!

Староста. На каждой десятине по сто копён становится.

Барин. Ах, как хорошо! Эдак и копны у них большие?

Староста. Порато большие, боярин-батюшко!

Барин. А как большие?

Староста. Курица перешагнет.

Барин. Как, как?

Староста. Палкой не перекинешь!

Барин. Ах, как хорошо! А эдак и примолот у них большой бывает?

Староста. Порато большой.

Барин. А как большой?

Староста. Начнут молотить, так и зерно не летит.

Барин. Как, как?

Староста. С каждого овина по семи кулей вымолачивают. <…>

Барин. А был ли ты, староста, на моей новой мызе?

Староста. Как же, барин, был…

Барин. Всё там благополучно?

Староста. Всё благополучно, боярин-батюшко; да вот тётка Марфунька за лапоть писульку заткнула.

Барин. Подай-ко её сюда!

Староста. Сейчас, боярин-барин.

Барин. Только не изорви!

Староста. Не изорву, только изомну. (*Тащитписьмоизлаптя*.) <…> На-ко, барин, прочти.

Барин (*берёт записку и говорит*). Как у вас написано-то, по азам?

Староста. Не разобрать твоим чертовским глазам!

Барин (ч*итает*). Как же ты сказал: всё благополучно? Во-первых, мой перочинный ножик сломался!

Староста. Сломали, боярин-батюшко, сломали, прогневали бога, сломали!

Барин. Ну, расскажи, как его сломали?

Староста. Вот я расскажу, как его сломали! Как твой сивопегий жеребец помер, мы с него шкуру сдирали, кругом хвостика резанули, а ножик был стальной да и хрупнул.

Барин. Как, разве мой сиво-пегий жеребец поколел?

Староста. Помер, боярин-батюшко!

Барин. Поколел же?

Староста. Помер.

Барин. Ну, расскажи, отчего поколел?

Староста. Расскажу, отчего помер! Как твоя маменька, кривая сука, поколела, её на кладбище повезли, а он был сердечком-то ретив, себе ножку сломал, тут и помер.

Барин. Как, разве моя маменька померла?

Староста. Поколела…

Барин. Померла же?

Староста. Поколела!

Барин. Видите, Марья Ивановна, лошади помирают, а люди поколевают! Ну, расскажи, отчего моя маменька померла?

Староста. Расскажу, отчего поколела… Как твой-то трёхэтажный домик загорелся, твоя-то маменька сердечком была ретива и с крылечка соскочила, себе ногу сломила, тут и поколела.

Барин. Как, разве мой трёхэтажный дом сгорел?

Староста. Давным-давно! <…>

Барин. А ты на пожаре-то был?

Староста. Как же, боярин-батюшко, был. Три раза кругом обежал, таких три кирпича красных вытащил!

Барин. Неужели от пожара ничего не осталось?

Староста. Нет, осталось много…

Барин. А что такое?
Староста. А чем чай-то пьют!
Барин. Что такое, чай, что ли?
Староста. Нет, крупнее.
Барин. Так сахар, что ли?
Староста. Нет, чернее.
Барин. Так уголья, что ли?
Староста. Вот, вот – уголья. <…>
Барин. Где ты по сие время шлялся?
Староста. Я на вашей красной шлюпочке катался.
Барин. Видите ли: у барина петля на шее, а он на красной шлюпочке катался.
Староста. Если бы была у вас, барин, петля на шее, я взял бы, тримбабули-бом, да и задавил бы!

Лодка

Действующие лица:

Атаман, грозного вида, в красной рубашке, черной поддевке, черной шляпе, с ружьем и саблей, с пистолетами за поясом; поддевка и шляпа богато украшены золотой бумагой

Есаул, одет почти так же, как и Атаман; украшения из серебряной бумаги

Разбойники, одеты в красные рубахи, на головах меховые шапки со значками из разноцветной бумаги, за поясом различное оружие.

Неизвестный (он же *Безобразов*), одет в солдатский мундир, с ружьем в руках и кинжалом за поясом.

Богатый помещик, пожилой, иногда седой, в туфлях, пиджаке или халате, на голове котелок, в руках трубка с длинным чубуком.

Действие происходит на широком раздолье матушки-Волги, на легкой лодке, последняя сцена на берегу, в доме Богатого помещика. Ни декораций, ни кулис, ни суфлера, ни вообще каких-либо сценических приспособлений не полагается.

Все участвующие в представлении входят в определенную заранее избу с пением какой-либо песни. Чаще всего исполняется следующая:

Ты позволь, позволь, хозяин,
В нову горенку войти!
Припев: Ой калина, ой малина!
Черная смородина!
Черная смородина!
В нову горенку войти,
Вдоль по горенке пройти,
Вдоль по горенке пройти,
Слово вымолвити!
У тебя в дому, хозяин,
Нет ли лишнего бревна?
Если лишнее бревно,
Давай вырубим его!

По окончании песни выступает вперед Есаул и, обращаясь к хозяину, говорит: «Не угодно ли вам, хозяин, представленье посмотреть?» Хозяин обычно отвечает: «Милости просим!», «Добро пожаловать!» или что-нибудь в этом роде.

Все участники представления выходят на середину избы и образуют круг, в середине которого становятся друг против друга Атаман и Есаул.

Сцена 1

Атаман

(*Топает ногой и кричит грозно.*)

Есаул!

Есаул (*Точно так же топает ногою и кричит в ответ.*)

Атаман!

Атаман

Подходи ко мне скорей,
Говори со мной смелей
Не подойдешь скоро,
Не выговоришь смело —
Велю тебе вкатить сто,[209]
Пропадет твоя есаульская служба ни за что!

Есаул

Вот я перед тобой,
Как лист перед травой!
Что прикажешь, Атаман?

Атаман

Что-то скучно… Спойте мне любимую мою песню.

Есаул

Слушаю, Атаман!

Запевает песню, хор подхватывает.

Начало каждой строки запевает *Есаул.*

Ах, вы, горы мои, горы.
Горы Воробьевские!
Ничего-то вы, ах да горы,
Не спородили,
Спородили вы только, горы,
Бел-горюч камень!
Из-под камешка бежит
Быстра реченька… и т. д.

Атаман во время пения песни в глубокой задумчивости ходит взад и вперед со скрещенными на груди руками. По окончании песни останавливается, топает ногами и кричит.

Атаман

Есаул!
Подходи ко мне скорей,
Говори со мной смелей!
Не подойдешь скоро,
Не выговоришь смело —
Велю тебе вкатить сто,
Пропадет твоя есаульская служба ни за что!

Есаул

Что прикажешь, могучий Атаман?

Атаман

Будет нам здесь болтаться,[210]

Поедем вниз по матушке по Волге разгуляться

Мигоментально[211] построй мне легкую лодку!

Есаул

Готова, Атаман:

Гребцы по местам,

Весла по бортам!

Всё в полной исправности.

В это время все разбойники садятся на пол, образуя между собою пустое пространство (лодку), в котором расхаживают Атаман и Есаул.

Атаман

(*Обращаясь к Есаулу*.)

Молодец! Скоро сделал!

(*Обращаясь к гребцам*.)

Молись, ребята, Богу! Отчаливай!

Гребцы снимают шапки и крестятся, затем начинают раскачиваться взад и вперед, хлопая рукой об руку (изображается плеск воды от весел).

Атаман

Есаул! Спой любимую мою песню!

Есаул

(*Вместе со всеми разбойниками поет.*)

Вниз по матушке по Волге…

Атаман

(*Перебивая песню*.)

Есаул!

Подходи ко мне скорей,

Говори со мной смелей!

Не подойдешь скоро,

Не выговоришь смело —

Велю тебе вкатить сто,

Пропадет твоя есаульская служба ни за что!

Есаул

Что прикажешь, могучий Атаман?

Атаман

Возьми подозрительную[212] трубку,

Поди на атаманскую рубку,

Смотри во все стороны:

Нет ли где пеньев, кореньев, мелких мест?

Чтобы нашей лодке на мель не сесть!

Есаул берет картонную трубку и осматривает кругом.

Атаман

(*Кричит*.)

Смотри верней, сказывай скорей!

Есаул

Смотрю, гляжу и вижу!
Атаман
Сказывай, что видишь?
Есаул
Вижу: на воде колода!
Атаман
(*Как бы не расслышав*.)
Какой там чёрт-воевода!
Будь их там сто или двести —
Всех их положим[213] вместе!
Я их знаю и не боюсь,
А если разгорюсь,
Еще ближе к ним подберусь!
Есаул-молодец!
Возьми мою подозрительную трубку,
Поди на атаманскую рубку,
Посмотри на все четыре стороны
Нет ли где пеньев, кореньев, мелких мест?
Чтобы нашей лодке на мель не сесть!
Гляди верней, сказывай скорей!
Есаул снова начинает оглядывать окрестности. В это время издали слышно пение песни:
Среди лесов дремучих
Разбойничий идут…
Атаман
(*Сердито топает и кричит*.)
Кто это в моих заповедных лесах гуляет
И так громко песни распевает?
Взять и привести сюда немедленно!
Есаул
(*Выскакивает из лодки, но сейчасже возвращается*.)
Дерзкий пришелец в ваших заповедных лесах гуляет
И дерзкие песни распевает,
А взять его нельзя:
Грозится убить из ружья!
Атаман
Ты не есаул, а баба,
У тебя кишки слабы!
Сколько хочешь казаков возьми,
А дерзкого пришельца приведи!
Есаул берет несколько человек и вместе с ними выскакивает из лодки.

Сцена 2

Есаул с разбойниками возвращаются и приводят с собою связанного Незнакомца.
Атаман
(*Грозно*.)
Кто ты есть таков?
Незнакомец

Фельдфебель Иван Пятаков!
Атаман
Как ты смеешь в моих заповедных лесах гулять
И дерзкие песни распевать?
Незнакомец
Я знать никого не знаю,
Где хочу, там и гуляю
И дерзкие песни распеваю!
Атаман
Расскажи нам, чьего ты роду-племени?
Незнакомец
Роду-племени своего я не знаю,
А по воле недавно гуляю…
Нас было двое – брат и я.
Вскормила, вспоила чужая семья;
Житьё было не в сладость,
И взяла нас зависть;
Наскучила горькая доля,
Захотелось погулять по воле;
Взяли мы с братом острый нож
И пустились на промысел опасный:
Взойдет ли месяц среди небес,
Мы из подполья – в темный лес,
Притаимся и сидим
И на дорогу все глядим:
Кто ни идет по дороге —
Всех бьем.
Всё себе берем!
А не то в полночь глухую
Заложим тройку удалую,
К харчевне подъезжаем,
Всё даром пьем и поедаем…
Но недолго молодцы гуляли,
Нас скоро поймали,
И вместе с братом кузнецы сковали,
И стражи отвели в острог,
Я там жил, а брат не мог:
Он скоро захворал
И меня не узнавал,
А всё за какого-то старика признавал;
Брат скоро умер, я его зарыл,
А часового убил,
Сам побежал в дремучий лес,
Под покров небес;
По чащам и трущобам скитался
И к вам попался;
Если хочешь, буду служить вам,

Никому спуску не дам!

Атаман

(*Обращаясь к Есаулу*.)

Запиши его! Это будет у нас первый воин.

Есаул

Слушаю, могучий Атаман!

(*Обращаясь к Незнакомцу*.)

Как тебя зовут?

Незнакомец

Пиши – Безобразов!

Атаман снова приказывает Есаулу взять подзорную трубу и посмотреть нет ли какой-нибудь опасности.

Есаул

(*Заявляет*.)

На море чернедь[214]

Атаман

(*Как бы не расслышав*.)

Что за черти
Это – в горах черви,
В воде – черти,
В лесу – сучки,
В городах – судейские крючки,
Хотят нас изловить
Да по острогам рассадить,
Только я их не боюсь,
А сам поближе к ним подберусь!
Смотри верней,
Сказывай скорей,
А не то велю тебе вкатить разиков сто —
Пропадет твоя есаульская служба ни за что!

Есаул

(*Посмотрев снова в трубу*.)

Смотрю, гляжу и вижу!

Атаман

А что ты видишь?

Есаул

Вижу на берегу большое село!

Атаман

Вот давно бы так, а то у нас давно брюхо подвело!

(*Обращаясь к гребцам*.)

Приворачивай, ребята!

Все разбойники

(*Хором подхватывают и весело поют песню*.)

Приворачивай, ребята,
Ко крутому бережочку и т. д. до конца.

Лодка пристает к берегу. Атаман приказывает Есаулу узнать, кто в этом селе живет.

Есаул

(*Кричит, обращаясь к публике*.)

Эй, полупочтенные, кто в этом селе живет?

Кто-нибудь отвечает из публики: «Богатый помещик!»

Атаман

(*Посылает Есаула к Богатому помещику узнать*.)

Рад ли он нам,

Дорогим гостям?

Сцена 3

Есаул

(*Выходит из лодкии, подойдя к одному из участников представления, спрашивает*.)

Дома ли хозяин? Кто здесь живет?

Помещик

Богатый помещик.

Есаул

Тебя-то нам и надо!

Рад ли ты нам,

Дорогим гостям!

Помещик

Рад!

Есаул

А как рад?

Помещик

Как чертям!

Есаул

Как-как? Повтори!

Помещик

(*Дрожащимголосом*.)

Как милым друзьям.

Есаул

Ну то-то же!

Есаул возвращается назад и докладывает обо всем Атаману. Атаман велит разбойникам идти в гости к Богатому помещику. Шайка подымается и несколько раз обходит вокруг избы с пением «залихватской» песни: «Эй усы! Вот усы! Атаманские усы!» Кончивши песню, шайка подходит к Богатому помещику. Атаманом и Помещиком повторяется почти буквально диалог с Есаулом.

Атаман

Деньги есть?

Помещик

Нет!

Атаман

Врёшь, есть?

Помещик

Тебе говорю – нет!

Атаман

(*Обращаясь к шайке, кричит*.)

Эй, молодцы, жги, пали Богатого помещика!

Происходит свалка, и представление кончается.

Маврух

Действующие лица:

Маврух, в белой рубахе и подштанниках, на голове белый же куколь, как у савана, лицо закрыто, на ногах бахилы. Маврух лежит на скамье, которую носят четыре офицера.

Офицеры, четыре, в черных пиджачках, на плечах соломенные эполеты, сбоку на поясах сабли, на головах шапки или шляпы с ленточками и фигурками.

Панья, парень, одетый в женское платье, на голове косынка.

Пан, в долгом армяке черного цвета, в черной шляпе.

Поп, в ризе из портяного полога, на голове шляпа, в руках деревянный крест из палок, книга «для привилегия» и кадило – горшочек на веревке, а в нем куриный помет.

Дьяк, в кафтане и шляпе, в руках книга.

Офицеры вносят Мавруха на скамье в избу и ставят по ее середине, головой вдоль избы.

Поп (*начинает ходить кругом покойника, кадит и говорит протяжным голосом нараспев, подражая службе священника*).

Чудак покойник,
Умер во вторник,
Пришли хоронить —
Он из окошка глядит.

Все (*участвующие в комедии поют*).

Маврух в поход уехал.
Миротон-тон-тон, Миротень.
Маврух в походе умер.
Миротон-тон-тон, Миротень.
Оттуда едет в черном платье пан.
Миротон-тон-тон-Миротень.
– Пан ты, пан, любезный,
Какую весть везешь?
– Сударыня, заплачешь,
Услыша весть мою:
Маврух в походе умер,
Он умер из земли.
Четыре офицера покойника несут
И поют, поют, поют:
Вечная ему память!

Поп. Государь мой батюшко, Сидор Карпович,
Много ли тебе веку?
Маврух. Семдесять.
Поп (*поет на церковный лад*)

Семдесять, бабушка, семдесять.
Семдесять, Пахомовна, семдесять.

(*Спрашивает у Мавруха*.)

Государь мой батюшко,
Много ли у тебя осталось деток?

Маврух. Семеро, бабушка, семеро,
Семеро, Пахомовна, семеро.
Поп. Чем ты их будешь кормить?
Маврух. По миру, бабушка, по миру,
По миру, Пахомовна, по миру.
Поп и все (повторяют эту же фразу пением и дальше).
По миру, бабушка, по миру,
По миру, Пахомовна, по миру.
Поп (ч*итает протяжно, по-церковному*).

На море на окияне,
На острове на Буяне,
Около столба точеного,
Веретена золоченого
Стоял бык точеной,[215]
В ж… чеснок толченой.
Наши ребятки узнали,
К этому бычку похаживали,
Этот чеснок помакивали,
Кушанье похваливали:
– Ах, како кушанье,
Хвацко, бурлацко,
Само лободыцко!
Есть хорошо,
Да ходить с. … далеко:
За двадцать пять верст,
Ближе места не приберешь.

Дьяк (*поет*).

…Тереха, брюшина поп.

Поп (*читает по книге, на церковный лад*).

Муж поутру вставает,
Глаза помочил,
У жены есть попросил,
А жена мужу отвечает:
– Эка ненаедная скотина!
На работу не спешишь,
Только бьешься об еды.—
Муж жены отвечает:
– Хороша жена поутру вставает,
Благословясь, печку затопляет,
А худа жена вставает,
С бранью печку затопляет,
С бранью горшки наливает.
Хороша метла подпашет,
А худа метла по сторонам размашет.

Дьяк (*поет*).

…Тереха, брюшина поп.

Поп (ч*итает*).

Туча, молнии над нами
С дождями.
Матку подломило,
Руль оборвало,
Коршика нет.
Капитан сидит в каюте,
Лоцмана сидят на баре,
Плачут, рыдают,
Смерти ожидают:
– Ходили вместе,
Погибнем вдруг.

Параша

Действующие лица:

Степан, извозчик.
Василий, извозчик.
Семен Иванович, староста, с бляхой.
Параша, его дочь.
Иван Петрович, смотритель почтовой станции, в долгом халате.

Проезжающий купец, одет в сибирке.

Входят Степан и Василий, извозчики, и поют песню.

Экой Ванька, разудалая голова,
Сколь удалая головушка твоя,
Сколь далече уезжает от меня,
На кого же спокидаешь, друг, меня.

Входит Параша.

Параша. Здравствуйте!

Степан уходит, остается один Василий Петрович, подходит к Параше, обнимает ее и говорит.

Василий. Прасковья Семеновна! Любите ли вы меня? Если вы меня не любите, пойду распрощусь с белым светом. Верно, судьба моя такая! *(Уходит.)*

Параша. Василий, не ходи, Василий, воротись!

Василий Петрович. Прасковья Семеновна, любите ли вы меня? Если вы любите меня, подойдите и подайте мне правую руку.

Параша подходит и подает руку, а в это время выходит староста Семен, выпивши, и поет.

Староста.

Вдоль по улице метелица метет,
По метелице мой миленький идет.
Ах, вы тут!

Параша и Василий расскакиваются в стороны.

А, что староста! Я староста Семен Иванович. Семена Ивановича старосту знают все. Я хотя и лыком шит, но все-таки чиновный человек, по крайней мере, староста. Пойду, схожу к Ивану Петровичу, он меня попотчует. (*Колотится у дома Ивана Петровича*.) Иван Петрович дома?

Иван Петрович. Дома, дома, Семен Иванович, дома!

Староста. Иван Петрович! Я к тебе в гости. Ты меня попотчуешь?

Иван Петрович. Иди, иди, Семен Иванович, попотчую, попотчую.

Староста. Иван Петрович! Знаешь мою дочку Пареньку?

Иван Петрович. Знаю, знаю, Семен Иванович, хорошая девка.

Староста. Да, славная девка, Иван Петрович! Я за тебя ее замуж отдам,

Иван Петрович. Что вы, Семен Иванович, я слышал, что она за извозчика Василия выходит.

Староста. Что вы! Моя Паранька да за Василия? Да я его в солдаты отдам.

Уходит от смотрителя.

Выходит на сцену один Василий Петрович, ходит, пригорюнившись; входит Степан.

Степан. Что ж ты, Василий Петрович, пригорюнился? Точно мышь на крупу села.

Василий Петрович. Эх, Степан, как мне не горевать! Одна лошадь издержалася – куда я на одной буду извозчичать? Как я буду другую лошадь покупать?

Степан. Да ты бы сходил к дяде Семену Ивановичу денег попросил. К тому же я слышал, что ты на Параньке жениться хочешь?

Василий Петрович. Эх, Степан, не смейся, далеко она мне не ровня.

Степан. Ну, дак сходи к Ивану Петровичу. Он, наверное, вам на лошадь деньги даст.

Василий Петрович. А и правду, Степан, сходить к Ивану Петровичу. (*Приходит и колотится у квартиры Ивана Петровича*.) Иван Петрович дома?

Иван Петрович. Дома. А что вам нужно?

Василий Петрович. Иван Петрович, я к вашей милости. У меня вот лошадь издержалася, другую нужно купить. Не даете ли вы мне денег?

Иван Петрович. Хорошо, Василий! Только вы мне лошадь в залог приведите, да еще сапоги в залог снимите. Я и дам денег.

Василий Петрович заплакал и пошел прочь. Встречает Степана.

Степан. Ну что, Василий, смотритель дал денег?

Василий Петрович. Эх, Степан! Да он лошадь в залог требует, да и сапоги с ног велит снять.

Степан. Ах, он мерзкая харя! На, Василий, сто рублей, разживайся с богом!

В это время вбегает староста Семен.

Староста. Эй, ребята! Степан, Василий! Который поедет купца везти?

Степан. Василий! Поезжай, кстати там и лошадь возьмешь.

Василий уходит, и за стеной брякает колокольчик.

Приезжает обратно и встречает Степана.

Степан. Что, Василий, взял лошадь?

Василий Петрович. Нет, не взял, не подошла.

В это время староста кричит.

Староста. Эй, ребята, Степан, Василий! Которой купца-то вез?

Василий Петрович. Дядя Семен, я вез.

Староста. Купец деньги потерял, пять тысяч рублей. Ты не взял ли?

Василий Петрович. Нет, дядя, не взял.

Староста. Но все-таки нужно тебя обыскать.

Входит купец. Василия обыскивают – находят сто рублей.

Степан. Эти деньги у него мои: я ему на лошадь дал.

Купец. Нет, это не мои. У меня пять тысяч было, а тут только сто рублей.

Староста Василия арестует.

Степан. Василий в чем ездил-то, не остались ли деньги в экипаже.

Василий Петрович. Иди, Степан, посмотри там в телеге.

Степан уходит смотреть и возвращается с деньгами.

Степан. Дядя Семен, деньги-то здесь, нашлись.

Купец. Вот это мои деньги.

Староста. А, дак ты Василия напрасно оклепал?

Купец дает Василию пятьсот рублей.

Староста (*кричит*). Василий у меня молодец, Василий хороший, я за Василия дочку Параньку отдам.

Вмешивается Смотритель.

Смотритель. Что вы, Семен Иванович, хотели Параньку за меня отдать, а Василия в солдаты сдать.

Староста. Ах ты, мерзкая харя! Да вот тебе свиное ухо, а не Паранька.

Показывает угол полы.

Смотритель убегает, и все расходятся.

Театр петрушки

Петрушка. Народная кукольная комедия

Шарманка сипло наигрывает русскую песню; из-за ширм слышатся то резкие, гнусавые возгласы, то кряхтение, то подпевание *Петрушки*, и в одну из минут усталого ожидания, когда публика готова уже развлечься посторонним, он неожиданно показывается из-за ширм и кричит: «Здравствуйте, господа!»– и пускается в разговор с музыкантом, просит его сыграть плясовую и танцует, сначала один, потом с *Супругой* (которую по некоторым вариантам зовут «Маланьей Пелагевной», а по другим «Пигасьей Николавной») и наконец прогоняет ее.

Является *Цыган* и продает ему лошадь; Петрушка ее уморительно осматривает, тащит за хвост, за уши, садится и гарцует и поет:

Как по Питерской,
По Тверской-Ямской…

Лошадь начинает брыкаться, сбрасывает его, и Петрушка падает, громко стукая деревянным лицом о рамку ширмы, охает, кряхтит, стонет и зовет Доктора.

Приходит «*доктор-лекарь*, из-под Каменного моста аптекарь» и, рекомендуясь публике, говорит, что он «был в Италии, был и далее», и спрашивает у Петрушки:

– Что у тебя болит?

– Какой же ты доктор, – кричит ему Петрушка, – коли спрашиваешь, где болит? На что ты учился? Сам должен знать, где болит.

Начинается осмотр Петрушки: доктор ищет больного места, тыкает Петрушку пальцем и спрашивает: «Тут? тут?», а Петрушка все время кричит: «Повыше! Пониже! Крошечку повыше!» – и вдруг неожиданно вскакивает и колотит доктора. Доктор скрывается.

Затем является Клоун-Немец; Петрушка его убивает, и немец мертвый лежит на краю ширм. Музыкант говорит Петрушке: «Что вы наделали, Петр Иванович? Сейчас полиция придет». Петрушка сначала храбрится и, весело заглядывая в физиономию лежащего немца, говорит: «Немец-то притворился мертвым». Затем взваливает его себе на спину, тащит домой и кричит беспечно: «Картофелю, картофелю! Поросят, поросят!..»

Появляется Татарин, продает халаты, а Петрушка думает, что его берут в солдаты; татарин рекомендуется незатейливой остротой:

Я татарский поп.
Пришел ударить тебя в лоб!

И исчезает, преследуемый Петрушкой. Петрушка возвращается один. Он в тревоге: боится наказания, обращается к музыканту и говорит: «Что, меня никто не спрашивал?» Старается спрятаться, наконец садится, пригорюнившись, и поет жалобную песню:

Пропала моя головушка
С колпачком и с кисточкой…

Из-за ширмы показывается Квартальный, и Петрушку берут в солдаты; он протестует и говорит, что горбат – служить не может. Квартальный возражает: «Где ж у тебя горб? У тебя нет горба!» Петрушка кричит: «Потерял!»

Следует комическая сцена обучения Петрушки воинскому артикулу, и, делая дубиной ружейные приемы, он ударяет ею своего учителя; тот кричит на него, а Петрушка вытягивается во фронт и говорит: «Споткнулся, ваше сковородие!» И затем прогоняет квартального, а между тем приближается возмездие за его безобразное поведение.

Прибегает рычащая Собака.

Петрушка видит, что его дело уже плохо, пробует обратиться за помощью к музыканту, но получает отказ и старается умаслить собаку ласковыми названиями, гладит и приговаривает: «Шавочка, душечка! Орелочка!» – но собака неожиданно хватает его за нос и тащит, а Петрушка, не успев поблагодарить публику за внимание, только кричит, намекая на свой нос: «Моя табакерка! Моя скворешница!..» – и при общем хохоте скрывается за ширмами. Приумолкнувший шарманщик опять начинает вертеть шарманку и наигрывает русскую песню.

Петрушка. Лубок

Действующие лица:

Петрушка Уксусов.

Цыган.

Доктор.

Немец.

Капрал.

Лошадь.

Мухтарка.

Музыкант.

Действие происходит по городам и селам всей России.

Действие первое

Петрушка. А вот и ребятишки! Здорово, парнишки! Бонжур, славные девчушки, быстроглазые вострушки! И вам бонжур, нарумяненные старушки, моложавые с плешью старички! Я ваш старый знакомый – мусью фон-гер Петрушка. Пришел вас позабавить, потешить да и с праздником поздравить. Вот какой я!

Появляется Цыган с лошадью.

Цыган. Здравствуй, мусью Петр Иванович! Как живешь-поживаешь, часто ли хвораешь?

Петрушка. А тебе какое дело? Уж не доктор ли ты?!

Цыган. Не бойся, я не доктор… Я цыган Мора из хора, пою басом, запиваю квасом, заедаю ананасом!

Петрушка. А ты языком не болтай, зубы не заговаривай. Говори, что надо, да мимо проваливай.

Цыган. Мой знакомый француз Фома, который совсем без ума, говорит, что тебе хорошая лошадь нужна, чтобы призы на скачках брать.

Петрушка. Это, брат, дело. Мне лошадь давно заводить приспело. Хочу и я поскакать да призы на скачках брать. Только хороша ли лошадь?

Цыган. Не конь, а диво: бежит – дрожит, спотыкается, а упадет – не поднимается. По ветру без хомута гони в три кнута. На гору бежит – плачет, а с горы так скачет, а как завязнет в грязи, так оттуда уж сам вези! Отменная лошадь!

Петрушка. Ого-го! Вот так лошадь! А какой масти?

Цыган. Лошадь не простая: пегая с пятнами, золотая, с гривою, лохматая, кривая, горбатая – аглицкой породы с фамильным аттестатом.

Петрушка. Ого-го! Такую-то мне и надо. А дорого ли стоит?

Цыган. По знакомству не дорого возьму: триста.

Петрушка. Что ты, фараоново племя, дорого просишь?! Как у тебя язык не сломался запросить три сотни?

Цыган. Сколько же дашь, чего не пожалеешь?

Петрушка. Бери два с полтиной да в придачу дубину с горбиной.

Цыган. Мало! Прибавь ребятишкам хоть на молочишко.

Петрушка. Хочешь сто рублей?

Цыган. Экой скупой! Прибавляй больше.

Петрушка. Хочешь полтораста с пятаком?

Цыган. Дешево. Ну, делать нечего, по рукам – давай деньги.

Петрушка. Давай сначала лошадь.

Цыган. Получишь и лошадь из полы в полу, только давай сначала задаток.

Петрушка (*неожиданно*). Изволь, брат Цыган, держи карман. Вот только я, приятель, сбегаю, мелочь разменяю. (*Скрывается*.)

Цыган. Эй, скоро ли задаток?

Голос Петрушки. Погоди капельку, кошелек затерял.

Петрушка (*появляется с дубиной и начинает бить Цыгана*). Вот тебе сто, вот тебе полтораста! (*Цыган убегает*.) Ого-го! От такого задатка не поздоровится! Музыкант! Давай-ка сюда лошадь. Тпру, тпру! Стой, не брыкайся! У-у, не лошадь, а огонь! Стой! Нужно сосчитать зубы, сколько ей лет. (*Смотрит ей в рот*.) Лошадь совсем молодая: ни одного зуба еще во рту нет! Прощайте, ребята, прощай, жисть молодецкая! Я уезжаю, музыкант.

Музыкант. Далеко ли?

Петрушка. Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской, с колокольчиком, на Вязьму, на Валдай, а ты никому не болтай: я тебе за это гостинец привезу. (*Скачет и поет*.)

Заложу я тройку борзу
Темно-карих лошадей!..

(*Лошадь брыкается*.) Тпру! тпру! Стой, погоди! Тише, Васенька, а то я упаду и голову сломаю. (*Лошадь в это время сбрасывает Петрушку*.) Ой, родимые, голубчики! Смерть моя пришла. Пропала моя головушка удалая!

Музыкант. Не тужи: еще не скоро!

Петрушка. Через двадцать лет, прямо в обед. Да зови лекаря скорей!

Музыкант. Сейчас приведу.

Действие второе

Петрушка. Входит Доктор.

Доктор. Не стонать, не кричать, а смирно лежать. Я знаменитый доктор, коновал и лекарь, из-под Каменного моста аптекарь. Я был в Париже, был и ближе, был в Италии, был и далее. Я талантом владею и лечить умею, одним словом, кто ко мне придет на ногах, того домой повезут на дровнях.

Петрушка. Батюшка, господин лекарь-аптекарь, пожалей, не погуби; на дровнях-то меня не

вози, а в колясочке!

Доктор. Говори, где болит – тут или здесь, внутри или снаружи?

Петрушка. Пониже.

Доктор. Здесь?

Петрушка. Чуточку повыше. Поправей и полевей.

Доктор. Экий ты дуралей! То ниже, то выше, то правей, то левей! Сам не знаешь, где болит. Встань да покажи!

Петрушка. Батюшка-лекарь, встать-то моченьки нет. Все болит. Ой, ой, ой! (*Встает, уходит, апотом появляетсяс дубиной, которой ибьет Доктора*.) Вот тут больно! Вот здесь больно! Ха-ха-ха! Какой любопытный лекарь: все ему покажи!

Доктор скрывается.

Действие третье

Музыкант. Петрушка. Появляется Немец.

Немец (*поет и танцует*). Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!

Петрушка. Мое почтение вам, господин!

Немец (*раскланивается и опять танцует*). Тра-ля-ля!

Петрушка. Музыкант, что это за чучело, только кланяется да молчит?

Музыкант. Это заграничный человек. По-русски не говорит. Спроси-ка его по-французски.

Петрушка. Это как же по-французски?

Музыкант. Парлэ-ву-франсье, мусью-господин?

Петрушка. Эй! Послушайте, господин-мусью! Парлэ-ву-франсэ?

Немец молча раскланивается.

Музыкант. Молчит. Значит, надо по-немецки спросить: шпрехен-зи-дайч!

Петрушка. Это очень мудрено, пожалуй, натощак и не выговоришь: шпрехен-зи-дайч?

Немец. О, я! Их шпрехе!

Петрушка. И я, и я, и я!..

Немец. Я, я! Гут!

Петрушка. Да ты, Карл Иванович, понимаешь, что ты болтаешь? Тут нас двое – ты да я! Говори по-московски!

Немец. Мейн либер гер вас?!

Петрушка. Где ты тут нашел квас? Убирайся-ка подобру-поздорову. (*Колотит Немца, тот убегает*.) Музыкант! Куда Немец девался? Должно быть, квас побежал пить, я сбегаю тоже глотку промочить. (*Хочет уйти*.)

Музыкант. Погоди. Немец сию минуту вернется. За шампанским пошел: тебя хочет угостить!

Петрушка. Это ладно! Подожду да спою:

По улице мостовой
Шла девица за водой,
За ней парень молодой,
Кричит: девица, постой!..

Появляется Немец и ударяет Петрушку палкой по затылку и молча скрывается.

Петрушка. Эй, музыкант, что это у меня по затылку проехало?

Музыкант. Это комар полетел да, должно быть, крылом задел!

Петрушка. Ты угорел: какой тут комар, точно кто оглоблей погладил. Ну, постой! Я не люблю

должатья. С тобой живо сквитаюсь. Ага! Вот и Немец воротился! Наше вам почтение! Музыкант, что же у Немца бутылки не видно?

Музыкант. Она у него в кармане.

Петрушка. А в руках-то у него что?

Музыкант. Это немецкий штопор.

Петрушка. Ха-ха-ха! Хорош штопор! Вот он какой. Ловко он меня отштопорил им, и сейчас затылок чешется.

Немец сзади ударяет Петрушку. Петрушка накидывается на него. Завязывается драка. Немец падает. Петрушка поворачивает его с боку на бок.

Петрушка. Музыкант! Немец-то словно мертвым притворился!

Музыкант. Какой ты шутник! Убил да говоришь – притворился.

Петрушка. Я купил? Что ты врешь! Хочешь, я тебе даром отдам! Не хочешь? (*Переворачивает Немца*.) Эй, мусью, вставай! Какой ты капризный: я тебя на реку снесу купаться, чтобы ты перестал драться. (*Кладет Немцасебе на плечо*.) Картофелю, капусты, кому не надо ли? Дешево отдам! (*Скрывается*.)

Действие четвертое

Петрушка, Капрал и Музыкант.

Капрал (*один*). Музыкант, куда Петрушка девался?

Музыкант. Налево, Капрал, а может, направо: не заметил.

Показывается из-за ширмы только голова Петрушки.

Петрушка. Музыкант, скажи, голубчик, кто меня сейчас спрашивал?

Музыкант. Капрал. Приходил за тобой брать в солдаты, да такой сердитый.

Петрушка. Ах, батюшки! Музыкант! Скажи ему, если он вернется, что я уехал в Париж, в Тмутаракань.

Появляется Капрал.

Капрал. Я тебе покажу Париж, что ты у меня сгоришь и не уедешь в Тмутаракань, а попадешь головой в лохань, что станет жарко. Ты все шумишь, буянишь, с людьми благородными грубиянишь; кричишь, орешь и покою никому не даешь. Вот я тебя возьму в солдаты без срока! Живо собирайся!

Петрушка. Господин капрал-генерал! Какой я солдат, калека с горбом и нос крючком.

Капрал. Врешь. Покажи, не хитри, где у тебя горб? У тебя никакого горба нет. Зачем нагибаешься? Встань прямо!

Петрушка. Я горб потерял.

Капрал. Как потерял? Где?

Петрушка. На Трубе.

Капрал. Ну нет, брат, не отделаешься этим. Сейчас принесу тебе ружье и стану учить солдатской науке. (*Скрывается*.)

Петрушка (*плачет*). Вот тебе и фунт меду с патокой!.. Музыкант-батюшка, не погуби мою головушку. Где же это видано, чтобы живых в солдаты брали? Вот так клюква с изюмом!.. Музыкант! Ступай за меня в солдаты! Я тебе заплачу за это!

Музыкант. А много ли дашь?

Петрушка. Хочешь – гривенник с алтыном да полушку с осьмушкой?

Музыкант. Только-то? Нет, не велик барин, сам отслужишь.

Петрушка. Не сердись! Какой ты несговорчивый! На вот колпачок да собери солдатику денег немножко, чтобы хватило на дорожку.

Капрал. Вот тебе ружье! Учись! (*Подает Петрушке палку*.) Смирно! Равняйся! К но-о-оги!

Петрушка. Недавно спать все полегли.

Капрал. Слушай команду! На плечо!

Петрушка. Что так горячо?

Капрал. Правое плечо вокруг!

Петрушка. Как хвачу тебя я вдруг! (*Ударяет палкой Капрала*.)

Капрал. Что ты делаешь, дурачина? Ты не получишь чина!

Петрушка. Чуть-чуть споткнулся, ваше сковородие.

Капрал. Слушай команду! Кругом марш! Левой – правой, раз – два, левой – правой, раз – два! Шагом марш!

Петрушка идет сзади Капрала и ударяет его палкой. Капрал убегает.

Действие пятое

Петрушка, Музыкант и Мухтарка.

Петрушка. Ха-ха-ха! (*Поет и приплясывает*.)

Что ты, что ты, что ты,
Я солдат четвертой роты!..

Ловко послужил! В Сибирь чуть не угодил. Капрала угомонил и концы в воду схоронил. Музыкант, а ты слышал, я в лотерею выиграл красную рубаху и хочу теперь жениться!

Музыкант. А где лотерея-то?

Петрушка. А у Тверских ворот, где налево поворот. Перейдя направо, в тупике, где стоит мужик в муке.

Музыкант. А есть там еще что?

Петрушка. Все вещи хорошие! Новые кафтаны с заплатами, шляпы помятые, лошадь без хвоста, два аршина холста, чайник без крышки с одной ручкой, да и та в починку отдана.

Выбегает Собака

Петрушка. Шавочка, кудлавочка, какая ты замарашка, уж не из Парижа ли ты к нам прибежала? Поближе? (*Собака хватает Петрушку за рубаху*.) Стой, стой, Мухтарка, разорвешь рубаху-то! Стой, Мухтарка, больно! (*Собака кидается на него и хватает за нос*.) Ай, батюшки, голубчики родимые, знакомые, заступитесь! Пропадает моя головушка: Мухтарка за нос схватила. Отцы родные, пропадет моя головушка совсем с колпачком и с кисточкой! Ой! ой, ой! Загрызла!

Собака грызет и теребит Петрушку, потом вскидывает его на себя и убегает с ним.

Конец

Царь Ирод

Ирод восседает на троне, к нему являются Три волхва. Он повелевает им на обратном пути из Вифлеема явиться к нему с подробностями о рождении Спасителя. Ирод напрасно ждет волхвов и в раздраженном состоянии духа обращается к своему Воину:

Воин мой, воин,

Воин вооруженный,

Стань передо мною,

Как лист перед травою,

И слушай мои приказания.

Воин (входит).

О, грозный царь Ирод,

Почто своего верного воина призывавши

И какие грозные приказы повелеваеши?

Ирод. Поди в Вифлеем и избей всех младенцев от двух лет и ниже. Воин (уходит и возвращается обратно).

О, грозный царь Ирод!

По твоему приказу

Я сходил в Вифлеем

И избил всех младенцев

От двух лет и ниже;

Только одна старая баба Рахиля

Не дает своего дитенка бить.

Ирод. Приведи ее сейчас сюда.

Воин уходит в одно из боковых отделений вертепа и тотчас приводит Рахиль в черном с головы до ног одеянии с ребенком на руках, жалобно пищащим.

Ирод. Как ты, старая баба Рахиля, смеешь не давать своего дитенка бить моему верному воину, когда я это приказал?

Рахиль (воет). Да он же у меня один, да такой маленький, да от него никому нет зла.

Ирод. А, дак ты мне еще смеешь грубить! (Воину.) Коли ее ребенка!

Воин закалывает отчаянно кричащего ребенка. Рахиль заливается слезами.

Хор (закулисами).

Не плачь, не плачь, Рахиля,

Твое дитя цело.

Оно не вмирало,

А отцветало.

Ирод (обращаясь к Воину). Гони отсюда старую бабу!

Воин прогоняет ее в одну сторону, а с противоположного хода является Отшельник.

Отшельник.

О Ироде, Ироде,

Полно тебе грешити,

Пора смерти просити.

Ирод (зовет Воина).

Воин мой, воин,

Воин вооруженный,

Стань передо мною,

Как лист перед травою,

Слушай мои приказания!

Воин (с мечом входит и останавливается перед Иродом).

О грозный царь Ирод,

Почто своего верного воина призываеши

И какие грозные приказы повелеваеши?

Ирод. Прогони отсюда сего старого бродягу!

Воин прогоняет Отшельника в одну сторону, а с другой стороны является Смерть с косою и начинает речитатив.

<Смерть>.

О Ироде, Ироде,

Полно тебе грешити,

Пора смерти просити!

Ирод в ужасе встает на своем троне быстро и порывисто.

Смерть.

Вот я к тебе пришла —

Настал твой смертный час:

Склони твою голову на мою косу.

Ирод (просит отсрочки). Дай отсрочки один год!

Смерть. Ни на один месяц!

Ирод. Дай на один день.

Смерть. Ни на один час!

Ирод. На одну минуту.

Смерть. Ни на одну секунду!

Ирод покорно склоняет голову на косу, а Смерть, отрубив голову, плавно удаляется одним ходом, а другим вбегают Черти с визгом и хохотом, окружают тело Ирода и под предводительством огромного Черта тащат тело в ад.

Хор (изображает кипение адской смолы). Жж… Зз… Сс…

Трон опустел.

Аришенька (входит и обращается к публике).

Ах, шла с горы – утомилась,

Шла под гору – спотыкнулась.

Дайте на царском месте посидеть.

(Садится.)

Старик (с мешком за плечами).

Ах, Аришенька, дружочек,

Я принес те денежек мешочек,

Только дай на твоих коленях посидеть,

А ты у меня из мешка денежки выбирай.

Аришенька. Садись, Старичок, садись, дорогой!

Старик садится ей на колени. Аришенька выбирает у него деньги из мешка за плечами.

Франт (является и обращается к публике).

Ах, почтеннейшие господа,

Как это не стыдно,

Как это не обидно,

Что старый хрыч с бородой

Сидит на коленях у молодой?!

Старик.

Ах, ты, Франт,

У тебя сапоги в рант,

Жилетка пике,

А нос в табаке;

Сапог скрипит,

А в кармане трясца кипит!

А я хоть старик седой,

Да денег у меня мешок большой.

Ступай отсюда прочь.

Старик и Аришенька (кричат вместе). Ступай отсюда прочь!

Франт сконфуженный уходит.

Аришенька (за кулисами говорит).

Милые музыкантики,

Сыграйте нам танцыки!

Музыканты играют «По улице мостовой». Аришенька пляшет русскую. Старик по ее приказанию тоже пляшет до изнеможения, чуть не падает – так что Аришенька переутомленного Старика наконец уводит долой со сцены. Старик прихрамывает и закашливается к великой потехе и смеху публики.

На сцену является Мужик.

<Мужик>. Куда же это я забрел? Вот тебе на! А где же Максимка? (Зовет.) Сын Максим, а сын Максим!

Максимка (за сценой). Ау, татка!

Мужик. Да где ж ты?

Максимка. Да в лесу!

Мужик. Зачем ты туда попал?

Максимка. Да грибы собираю!

Мужик. Да что ты, сдурел али пьян – какие ноне об растве грибы?

Максимка. Да еще какие – подосиновики! Ходи ко мне собирать, а то всех одному не набрать!

Мужик. В такой-то мороз мне к тебе идтить? Нет уж, ты выходи ко мне скорей. Пора домой, а то замерзнем!

Максимка. Не, мне в лесу тепло! Да я никак и заблудился? Так и есть – заблудился.

Мужик. Так читай за мной молитву «Да воскреснет бог».

Максимка. Да растреснит твой лоб, тятька! Так стемнело, что ни зги не вижу.

Мужик. Ну, так читай за мной другое!..

Барыня и доктор

Доктор

Здравствуйте вам, господа!

Знаете ли вы меня?

Я лекарь, главный аптекарь,

Умею лечить,

Кровь мечить,

Корпию вставлять,

Живых людей на тот свет отправлять:

Ко мне ведут на ногах,

А от меня везут на санях.

Не болят ли у вас, господа, у кого ли зубы?

Идет Барыня.

Барыня

Ах, доктор! Я слыхала,

Что вы лекарь.

Я дюже больна и похудела,

На мне сорочка поужела:

Было две складки,

А то стало в натяжку гладко.

Доктор

Сударыня! Вам нужно шалфею,

И дать раз пять по шее.

Тогда будете здоровы!

Барыня

Ах, господин, еще болит голова!

Доктор

Сударыня! Обрить вам ее догола,

Парным молоком привязать

И поленом по голове ударять!

Ваш голов будет здоров.

Барыня

Господин, еще болят зубы!

Доктор

Сударыня! Обрезать вам нос и губы,

Не перепустить крови ни лишку,

Дать вам в рот еловую шишку.

Ваш зуб будет очень здоров.

Барыня

Ах, господа, даже от слов его полегчело!

Пойду, найму музыку!

Танцуют польку и уходят.

Раек

* * *

А вот, извольте видеть, господа,

Андерманир штук – хороший вид.

Город Кострома горит;

Вон у забора мужик стоит – с <…> т;

Квартальный его за ворот хватает,

Говорит, что поджигает,

А тот кричит, что заливает.

А вот андерманир штук – другой вид,

Петр Первый стоит;

Государь был славный

Да притом же и православный;

На болоте выстроил столицу,

……

Государь был славный,

Да притом же и православный.

А вот андреманир штук – другой вид.

Город Палерма стоит;

Барская фамилия по улицам чинно гуляет

И нищих тальянских русскими деньгами щедро наделяет.

А вот, извольте посмотреть, андерманир штук – другой вид,

Успенский собор в Москве стоит;

Своих нищих в шею бьют,

Ничего не дают.

Прибаутки

*** * ***

«Разбуди меня, мама, завтра пораньше!» – «Что так?» – «Да вот хлебушка-то ломоть доесть: теперя уж не смогу».

* * *

«Сладки гусиные лапки». – «А ты едал?» – «Нет, а отец видал, как воевода едал».

* * *

«Куда, миленький, снаряжаешься?» – «Не скажу». – «Скажи, мой дорогой, куда снаряжаешься?» – «В город на ярмарку». – «Миленький, возьми меня с собой!» – «Не возьму». – «Возьми, мой дорогой, меня с собой». – «Садись на самый краешек». – «Что у тебя, миленький, в возу?» – «Не скажу». – «Что, мой дорогой, в возу?» – «Яблоки». – «Дай мне, миленький, яблочко». – «Не дам». – «Дай, дорогой, яблочко». – «Возьми одно». – «Где мы, миленький, ночуем с тобой?» – «Не скажу». – «Скажи, мой дорогой, где ночуем с тобой?» – «В большой деревне, у попа в пелевне[167]».

* * *

«Коза, коза, лубяные глаза, где ты была?» – «Коней пасла». – «А кони-то где?» – «Николка увел». – «А Николка-то где?» – «В клеть ушел». – «А клеть-то где?» – «Водой унесло». – «А вода-то где?» – «Быки выпили». – «А быки-то где?» – «В гору ушли». – «А гора-то где?» – «Черви сточили». – «А черви-то где?» – «Гуси выклевали». – «А гуси-то где?» – «В вересняк ушли». – «А вересняк-то где?» – «Девки выломали». – «А девки-то где?» – «Замуж выскакали». – «А мужья-то где?» – «Все примерли».

* * *

Гуси-лебеди летели, в чисто поле залетели, в поле банюшку доспели. Воробей дрова колол, таракан баню топил, мышка водушку носила, вошка парилася, приушмарилася;[168] бела гнида подхватила, на рогожку повалила; сера блошка подскочила, ножку подломила, в передбанок вошку выносила…

* * *

Кот на печи сухари толчет, кошка в окошке ширинку шьет, свинья в огороде овес толчет, курочка в сапожках избушку метет; вымела избушку, положила голичок под порожичок.

* * *

Ходит курочка в сапожках, выронила перышко, из перышка-то ядрышко; укатилось оно на Иваново село. На Ивановом селе-то собачка на лычке потявкивает, медведь на цепочке порывается, господин на печке обувается, госпожа за печкой оладьи печет, сухари толчет.

* * *

Лежит зайка под кустом; охотники за ним взорят, зверя малого ловят. Скочил зайка на ноги: «Вы, охотнички, идите – на мой хвостик посмотрите!»

* * *

«Заинька серенький, где ты был-спобывал?» – «Был я, побывал в огороде-ельничке, в амбарчике-спальничке». – «Кого видел-сповидал?» – «Видел я, повидал три девчины хороши, три любчины пригожи; Анюшенька черноброва, черноглаза лучше всех». – «Заинька серенький, они звали ли тебя?» – «Звали-звали, позывали: Катюша на часок, Марьюша на денек; Анюшенька удала на недельку позвала». – «Заинька серенький, кормили ли тебя?» – «Катюша-то блинами, Марьюша-то пирогами; Анюшенька удала кашу с маслом поднесла». – «Заинька серенький, поили ли тебя?» – «Катюшка-то пивцом, Марьюша-то винцом; Анюшенька удала стакан меду налила». – «Заинька серенький, положили ли тебя?» – «Катюша-то на лавку, а Марьюша на другую; Анюшенька удала подушечку подала». – «Заинька серенький, не били ли тебя?» – «Катюша-то клюкой, а Марьюша кочергой; Анюшенька удала за ушеньки подрала». – «Заинька серенький, провожали ли тебя?» – «Катюша-то на сенец, а Марьюша на крылец; Анюшенька удала за ворота провела».

* * *

Тень-потетень, выше города плетень; на полице трубица гороховая, на печи калачи, как огонь горячи, с печки упали, в горшочек попали. Кушайте, бояре, поварных щей. Тетка-божатка, Крестная мать, сошей-ка рубашку, тоненьку, беленьку, косой вороток. Поеду я жениться, на сивке, на бурке, на соловой кобылке. Кобылка, кобылка, не сдерни овина; в овине Арина ткет полотно, перетыки-то[169] кладет, да недотыкивает. Шапка-татарка поехала по лавкам; бей в доску да поминай Москву. Как на Вологде вино по три денежки ведро, хоть пей, хоть лей, хоть окачивайся!

Куколка, куколка, для ча долго не жила? Я боялась типуна. А типун-то не судья, а судья-то лодыга. Лодыгины дети хотят улетети за Иванов город. Они по грамотке пишут, на девицу дышут. Девица, девица, поди по водицу! На дороге-то волки горох молотили, поповы ребята попу-то сказали, попадья-то с печи обломала плечи. Сем-пересем на лопатке испечен; мужик песню спел, на капустник сел, съел три короба блинов, три костра пирогов, заулок рогулек, заход калачей, макинницу сулою,[170] овин киселя, поваренку щей!

* * *

Ну-тка, дядюшка Корнило, запрягай-ка ты кобылу, у Макарья на песку приразмычь горе-тоску: стоит бражка в туеску,[171] бражка пьяная-пьяна, весела хмельная голова! Бражку порняй[172] выпивай!..

* * *

Пошел полковник погулять, поймал птичку-перепелочку; птичка-перепелочка пить похотела, поднялась-полетела, пала-пропала, под лед попала, попа поймала, попа-поповича, Петра Петровича.

* * *

Однажды говорила о себе репа: «Я, репа, с медом хороша!» – «Поди прочь, хвастунья! – отвечал ей мед. – Я и без тебя хорош».

* * *

Была репа важная, дивилась старуха кажная; одним-днем кругом не обойдешь; у той репы половину мы с семьей целую неделю ели, а другую половину другую неделю; корку навалили да кобылу надсадили и телегу обломили. Вот какая была мудрость недавно утресь![173]

* * *

Стоит град пуст, а во граде куст; в кусте сидит старец да варит изварец; и прибежал к нему косой заяц и просит изварец. И приказал старец безногому бежать, а безрукому хватать, а голому в пазуху класть.

Симеон Полоцкий

Пиянство

Человек некий винопийца бяше, меры в питии хранити не знаше.
Темже многажды повнегда упися, в очию его всяка вещь двоися.
Во едино время прииде д**о** дому, и вся сугуба зрешася **о**ному.
Име два сына, иже предстояста, ему четыри во очию стаста.
Он нача жену абие муч**и**ти, дабы ему правду хотела явити,
Когда два сына новая род**и**ла и с коим мужем она приблудила.
Жена всячески его увещаше, вино виновато быти сказоваше.
Но он никако хоте веры яти, м**у**ку жестоку нача умышляти.
Взял есть железо огнем распаляше, ко жене бедней жестоко вещаше:
"Аще ты инем мужем не блужденна, сим не будеши огнем опаленна,
Аще же с инем блуд еси творила, иметь ожещи тя огненна сила".
Бедная жена в люте беде бяше, обаче умно к нему глагол**а**ше:
"Рада железо огненное взяти, невинность мою тебе показати,
Токмо потщися своею рукою подати оно ты на руку мою".
А все железо распаленно бяше, чесо пияный во ум не прияше.
Ятся железа, люте опалися, болезни ради в мале отрезвися.
И се два сына точию видяше, невинность жены, свою жену знаше.

Срамом исполнен, во печали был есть и прощения у жены просил есть.
Тако пиянство ум наш помрачает, всяк убо того верный да гонзает.

Перевод стихотворения Симеона Полоцкого
"Пьянство" на современный русский язык.

Человек некий пил и гулял, меры никакой в пьянстве не знал;
И как ему случалось напиться - всё в его глазах начинало двоиться.
Вот пришел он пьяный домой однажды - и каждая вещь ему видится дважды;
Двое сыновей пред ним предстали, а глаза его - четверых увидали.
Тотчас жену он стал терзать и пытать, дабы всю правду получше разузнать,
Когда новых двоих сыновей родила, и с чьим мужем их приблудила?
Жена же всячески его увещала, вино виноватым во всём представляла.
Но он поверить ей никак не желал, муку жестокую выдумывать стал.
Взял железо - и огнём нагревает, жену же бедную свирепо стращает:
"Если ты не посмела блудить - не сможет тебя и огонь опалить.
Ежели с другим наблудила - обожжет тебя огненная сила!"
Жена его видит - пришла беда; оттого заговорила хитрее тогда:
"Рада железо раскаленное взять - невинность мою тебе показать;
Только, если ты смелый такой - подай мне железо своей рукой."
А огонь металл страшно нагрел - этого пьяный понять не сумел.
Схватил железо и сильно опалился, от боли тотчас немного протрезвился.
Сразу лишь двоих сыновей увидал, невинность жены и свою глупость признал.
Стыдом исполнен, в печали был и прощенья у жены со слезами просил.
Так пьянство наш ум помрачает, пусть же всяк верный его избегает.

Александр Пушкин

Справочный материал

Азарова Н.М. Ирония в прозе Пушкина

Ирония — художественный прием, привнесенный в литературу романтиками. Ирония у романтиков осмысляется как художественно, так и теоретически. Романтическая ирония подчеркивает иллюзорность всего бытового, обычного, в общем всего, что так или иначе ограничивает свободу духа.

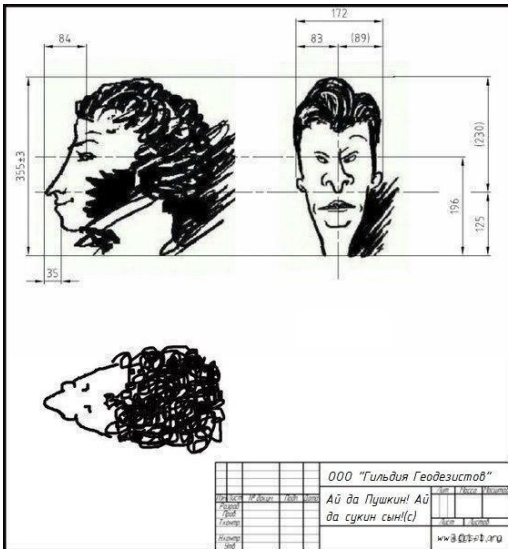
Однако романтическая ирония не оставалась неизменной: если сначала романтикам удавалось сохранить гармонию свободного духа и окружающего свободного мира в обход обыденности, то в произведениях поздних романтиков (Байрона, Гейне) часто ощущается трагическая невозможность преодолеть косность жизни, и она подчиняет себе автора и лучших его героев. I. Пушкинская ирония. 1) Традиции: — Ирония у

романтиков — преодоление и отвержение жизни искусством: жизнь ограниченна и сознание человека ограниченно, но с помощью иронии можно подняться над этой ограниченностью. — Ирония порождается самой способностью взглянуть на мир глазами художника (например, у Гофмана). 2) Новаторство: Ирония в прозе Пушкина, сохраняя особенности романтической иронии, в то же время — очень конкретна. — порождается здравым смыслом и остротой внимания. II. Ирония как элемент стиля пушкинской прозы, прием, характерный для большинства произведений. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт — брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются... Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали. (”Путешествие в Арзрум во время похода 1829 годап' 1836) III. Однако ирония в пушкинских произведениях больше, чем просто художественный прием. Ирония — важнейшая особенность прозы Пушкина, во многом определяющая ее новаторство по сравнению с прозой предшественников и современников. — Пушкин воспитывался на французской литературе (особенно просветительской) и русской литературе XVIII века. Общее для двух этих источников: в центре идея, которая довлеет над материалом, что ведет к дидактизму, морализированию. — У Пушкина же идея произведения и материал органично соединены, вместо дидактизма — ирония. IV. Точность, краткость и ирония — важнейшие особенности прозаического стиля Пушкина. 1. Ирония обычно направлена на определенный персонаж: например, в «Капитанской дочке» на Савельича, Бопре, обитателей Белогорской крепости (Ивана Кузьмича и Василису Егоровну, Ивана Игнатьича и др.). Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour etre outchitel, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и врагом бутылки, т.е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Ирония при изображении Пугачева. Казак о Пугачеве: Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец.— Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?» 2. Ирония может быть связана с проблемой «автор и герой» (соотношением автора и героя). 1) Ирония опытного Гринева-мемуариста над собой в молодости, авторская ирония. Чем прикажешь заняться?.. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть. Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам, и после нескольких уроков предложил мне играть в деньги, по одному грошу — не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу, что и служба!.. ("Капитанская дочка") 2) В «Повестях Белкина» авторская ирония наиболее очевидна в предисловии «От издателя» и письме друга Белкина. — Образ друга Белкина — чисто комедийный тип провинциала. — В его рассказе об Иване Петровиче Белкине простодушие на грани иронии (ср. с «Капитанской

дочкой»). ...умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то: мозолей и тому подобного...

Никогда не случалось мне видеть его навеселе {что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может)... 3) «История села Горюхина» — единственное произведение, ироническое с начала и до конца, с пародийно-сатирической установкой. В центре образ Белкина. Он автор произведения — его образ мотивирует характер повествования. — Белкин — графоман-недоросль (развитие темы «Повестей Белкина»). — Повесть — пародия на историографические работы. Однородность стиля, ирония, переходящая в сатиру. Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии. Сверх священника и церковных причетников, всегда водились в нем грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою. Сей необыкновенный человек прославился в околодке сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных паш- портов и т.п. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время как приучался писать правою ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. 3. Ирония, связанная с жанровыми и стилистическими литературными штампами. 1) Ирония обращена на жанр страшной романтической повести и привносит элемент пародии. Так, в повести «Гробовщик», после опрометчивого пьяного приглашения, Андрияна Прохорова «посещают» те, кто похоронен его стараниями: «Ты не узнал меня, Прохоров,— сказал скелет— Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому в 1799 году ты продал первый свой гроб — и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер к нему костяные объятия... (ср. «Вурдалак» в «Песнях западных славян). 2) Ирония направлена на литературно-романтическое раскрытие темы, обозначенной в заглавии (дуэль, стихия, разлучающая влюбленных). — «Выстрел»: литературные параллели на тему дуэли вводятся эпиграфами из «Бала» Баратынского и «Вечеров на бивуаке» Мар- линского, тем самым контрастно подчеркивается неосуществлен- ность выстрела. — «Метель»: традиционное роковое обстоятельство, помешавшее влюбленным, удивительным образом соединило людей, которым предстоит встретиться через несколько лет. Автор иронизирует над традиционным портретом героини и героя, над непременной влюбленностью девиц, воспитанных на французских романах: Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, Прасковьей Петровною, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следовательно, была влюблена. Явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с интересною бледностию, как говорили тамошние барышни. Ирония и в том, что автор не считает нужным скрывать, где черпает герой свою страсть и вдохновенье: «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.— Pгеих). 3) Эпиграфы пародически осмысляют повествование, привнося параллели с типичными литературными нормами и приемами эпохи. Например, эпиграф ко всему циклу «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»: Г-жа Простакова. То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник. Скотинин. Митрофан по мне. «Недоросль» Благодаря ироническому сопоставлению Белкина с Митрофаном читатель воспринимает Белкина и мир его творчества с насмешкой. 4. Ирония в речевой характеристике героев. Простодушие на грани иронии (см. также письмо друга Белкина в предисловии «От издателя»). Василиса Егоровна: Отведи господину офицеру квартиру, да почище... Отведи Петра Андреича к Семену

Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород... Пугачев и Савельич: «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев.— Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок». — Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич, усаживаясь — Дай Бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрел и успокоил. Век за тебя буду Бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану. ("Капитанская дочка") 5. Ирония в портрете (см. «Портрет в творчестве Пушкина»). 6. В сентиментально-нравоописательных «Станционном смотрителе» и «Барышне-крестьянке» ирония преобразует традиционный стиль. Пушкин использует особый синтаксис: — союзные присоединительные конструкции, — обилие вводных слов и предложений, — канцелярские обороты: Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию. ("Станционный смотритель ") Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным. ("Барышня-крестьянка ") V. Пушкинские принципы иронического повествования использовались впоследствии М. Е. Салтыковым-Щедриным ("История одного города") и А. П. Чеховым ("Письмо к ученому соседу").



История села Горюхина

Если бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно узнать, каким образом решился я написать Историю села Горюхина. Для того должен я войти в некоторые предварительные подробности.

Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года апреля 1 числа и первоначальное образование получил от нашего дьячка. Сему-то почтенному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотою к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на десятом году от роду я знал уже почти все то, что поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой и которую по причине столь же слабого здоровья не дозволяли мне излишне отягощать.

Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые незамеченные красоты. После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично, на все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что твердо знал я и прежде.

Мрак неизвестности окружал его как некоего древнего полубога; иногда я даже сомневался в истине его существования. Имя его казалось мне вымышленным и предание о нем пустою мифою, ожидавшею изыскания нового Нибура. Однако же он все преследовал мое воображение, я старался придать какой-нибудь образ сему таинственному лицу, и наконец решил, что должен он был походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка с красным носом и сверкающими глазами.

В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейера — где пробыл я не более трех месяцев, ибо нас распустили перед вступлением неприятеля — я возвратился в деревню. По изгнании двухнадесяти языков хотели меня снова везти в Москву посмотреть, не возвратился ли Карл Иванович на прежнее пепелище или, в противном случае, отдать меня в другое училище, но я упросил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье мое не позволяло мне вставать с постели в семь часов, как обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом достиг я шестнадцатилетнего возраста, оставаясь при первоначальном моем образовании и играя в лапту с моими потешными, единственная наука, в коей приобрел я достаточное познание во время пребывания моего в пансионе.

В сие время определился я юнкером в** пехотный полк, в коем и находился до прошлого 18 ** года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных впечатлений, кроме производства в офицеры и выигрыша 245 рублей в то время, как у меня в кармане всего оставалося рубль 6 гривен. Смерть дражайших моих родителей принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину.

Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней распространиться, заранее прося извинения у благосклонного читателя, если во зло употреблю снисходительное его внимание.

День был осенний и пасмурный. Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино, нанял я вольных и поехал проселочною дорогой. Хотя я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика, то обещая ему на водку, то угрожая побоями, и как удобнее было мне толкать его в спину, нежели вынимать и развязывать кошелек, то, признаюсь, раза три и ударил его, что отроду со мною не случалось, ибо сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня в особенности любезно. Ямщик погонял свою тройку, но мне казалось, что он, по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом, все-таки затягивал гужи. Наконец завидел Горюхинскую рощу; и через десять минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось — я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Восемь лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными

цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в некошеный луг, на котором паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были открыты и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу, и вскоре дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица — и дружески со всеми ими целуясь: мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: «Как ты постарела», — и мне отвечали с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели». Повели меня на заднее крыльцо, навстречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, ныне в бездействии отрастивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед или ужин — ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки, и я очутился в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23 года тому родился.

Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого роду — я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконец принял я наследство и был введен во владение отчиной; я успокоился, но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был еще знаком с добрым и почтенным соседом моим **. Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведенной мною в ключницы и управительницы, состояли счетом из пятнадцати домашних анекдотов, весьма для меня любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для меня другим новейшим письмовником, в котором я знал, на какой странице какую найду строчку. Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой, между всякой рухлядью, в жалком состоянии. Я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть, я прочел его еще раз и больше уже не открывал.

В сей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому что-нибудь сочинить? Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до шестнадцати лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жидами да с маркитантами, играя на ободранных биллиардах и маршируя в грязи.

К тому же быть сочинителем казалось мне так мудрено, так недосягаемо нам непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает мне случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности.

В 1820 году еще юнкером случилось мне быть по казенной надобности в Петербурге. Я прожил в нем неделю и, несмотря на то, что не было там у меня ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело: каждый день тихонько ходил я в театр, в галерею четвертого яруса. Всех актеров узнал по имени и страстно влюбился в **, игравшую с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме «Ненависть к людям и раскаяние». Утром, возвращаясь из Главного штаба, заходил я обыкновенно в низенькую конфетную лавку и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды сидел я углубленный в критическую статью «Благонамеренного»; некто в гороховой шинели ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок «Гамбургской газеты». Я так был занят, что не поднял и глаз. Незнакомый спросил

себе бифштексу и сел передо мною; я все читал, не обращая на него внимания; он между тем позавтракал, сердито побранил мальчика за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел. Двое молодых людей тут же завтракали. «Знаешь ли, кто это был? — сказал один другому: — Это Б., сочинитель». — «Сочинитель!» — воскликнул я невольно — и, оставя журнал недочитанным и чашку недопитою, побежал расплачиваться и, не дождавшися сдачи, выбежал на улицу. Смотря во все стороны, увидел я издали гороховую шинель и пустился за нею по Невскому проспекту — только что не бегом. Сделав несколько шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают — оглядываюсь, гвардейский офицер заметил мне, что-де мне следовало б не толкнуть его с тротуара, но скорее остановиться и вытянуться. После сего выговора я стал осторожнее; на беду мою поминутно встречались мне офицеры, я поминутно останавливался, а сочинитель все уходил от меня вперед. Отроду моя солдатская шинель не была мне столь тягостною, — отроду эполеты не казались мне столь завидными; наконец у самого Аничкина моста догнал я гороховую шинель. «Позвольте спросить, — сказал я, приставя ко лбу руку, — вы г. Б., коего прекрасные статьи имел я счастие читать в «Соревнователе просвещения?» — «Никак нет-с, — отвечал он мне, — я не сочинитель, а стряпчий, но ** мне очень знаком; четверть часа тому я встретил его у Полицейского мосту». Таким образом уважение мое к русской литературе стоило мне тридцати копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста — а все даром.

Несмотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем бы то ни было. Все роды поэзии (ибо о смиренной прозе я еще и не помышлял) были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из отечественной истории. Недолго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика — и принялся за работу.

К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно: «Опасного соседа», «Критику на Московский бульвар», «на Пресненские пруды» и т.п. Несмотря на то поэма моя подвигалась медленно, и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род, и начал трагедию Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу — но и баллада как-то мне не давалась. Наконец вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика.

Несмотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого стихотворца, однако ж я почувствовал, что я не рожден поэтом, и довольствовался сим первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уже не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей. Я хотел низойти к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и т. п., я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, без всякого порядка, в том виде, как они мне станут представляться. К несчастию, мысли не приходили мне в голову — и в целые два дня надумал я только следующее замечание:

Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию. Мысль конечно справедливая, но уже не новая. Оставя мысли, принялся я за повести, но, не умея с непривычки расположить вымышленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостию рассказа, а иногда и цветами собственного воображения. Составляя сии повести, мало-помалу образовал я свой слог и приучился выражаться

правильно, приятно и свободно. Но скоро запас мой истощился, и я стал опять искать предмета для литературной моей деятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий давно тревожила мое воображение. Быть судиею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностию, где бы не предупредили меня многоученые, добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ль писать историю всемирную — но разве не существует уже бессмертный труд аббата Милота? Обращусь ли к истории отечественной? что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова? и мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшалого языка, когда не мог я выучиться славянским цифрам? Я думал об истории меньшего объема, например об истории губернского нашего города; но и тут сколько препятствий, для меня неодолимых! Поездка в город, визиты к губернатору и к архиерею, просьба о допущении в архивы и монастырские кладовые и проч. История уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика, и представляла мало пищи красноречию. *** был переименован в город в 17** году, и единственное замечательное происшествие, сохранившееся в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся десять лет тому назад и истребивший базар и присутственные места.

Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь дом знал охоту мою к чтению. Ключница моя, в то самое время как я, сидя за моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством втащила корзинку в мою комнату, радостно восклицая: «книги! книги!» — «Книги!» — повторил я с восторгом и бросился к корзинке. В самом деле, я увидел целую груду книг в зеленом и синем бумажном переплете — это было собрание старых календарей. Сие открытие охладило мой восторг, но все я был рад нечаянной находке, все же это были книги, и я щедро наградил усердие прачки полтиною серебром. Оставшись наедине, я стал рассматривать свои календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, то есть ровно 55 лет. Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком. Брося взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они заключали не только замечания о погоде и хозяйственные счеты, но также и известия краткие исторические касательно села Горюхина. Немедленно занялся я разбором драгоценных сих записок и вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом порядке. Сверх сего заключали они неистощимый запас экономических, статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор изучение сих записок заняло меня исключительно, ибо увидел я возможность извлечь из них повествование стройное, любопытное и поучительное. Ознакомясь довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников истории села Горюхина. И вскоре обилие оных изумило меня. Посвятив целые шесть месяцев на предварительное изучение, наконец приступил я к давно желанному труду и с помощию божиею совершил оный сего ноября 3 дня 1827-го года.

Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню, оконча свой трудный подвиг, кладу перо и с грустию иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить!

Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к составлению Истории Горюхина:

1. Собрание старинных календарей. 54 части. Первые 20 частей исписано старинным почерком с титлами. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным. Она отличается ясностию и краткостию слога, например: 4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 — корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 — погода ясная. 9 — дождь и снег. Тришка бит по погоде. 11 — погода ясная. Пороша. Затравил 3 зайцев, и тому подобное, безо всяких размышлений... Остальные 35 частей писаны разными почерками, большею частию так называемым лавочничьим с титлами и без титлов, вообще плодовито, несвязно и без соблюдения правописания. Кой-где заметна женская рука. В сие отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супруги, Евпраксии Алексеевны, также и записки приказчика Гарбовицкого.

2. Летопись горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего попа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям, как заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи, и к счастию успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречием необыкновенным.

3. Изустные предания. Я не пренебрегал никакими известиями. Но в особенности обязан Аграфене Трифоновой, матери Авдея старосты, бывшей (говорят) любовницею приказчика Гарбовицкого.

4. Ревижские сказки, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные книги) касательно нравственности и состояния крестьян.

Страна, по имени столицы своей Горюхиным называемая, занимает на земном шаре более 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дериуховым и Перкуховом, коего обитатели бедны, тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению заячьей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений карачевских вольных хлебопашцев, соседей беспокойных, известных буйной жестокостию нравов. К западу облегают ее цветущие поля захарьинские, благоденствующие под властию мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное квакание лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса.

NB. Сие болото и называется Бесовским. Рассказывают, будто одна полуумная пастушка стерегла стадо свиней недалече от сего уединенного места. Она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глас народный обвинил болотного беса; но сия сказка недостойна внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить.

Издревле Горюхино славилось своим плодородием и благорастворенным климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его нивах. Березовая роща и еловый лес снабжают обитателей деревами и валежником на построение и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и чернике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве; сжаренные в сметане, представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы.

Обитатели Горюхина большей частию росту середнего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностию. NB. Баба здоровенная, сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к Ревижским сказкам. Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашне), храбры, воинственны: многие из них ходят одни на медведя и славятся в околотке кулачными бойцами; все вообще склонны к чувственному наслаждению пиянства. Женщины сверх домашних работ разделяют с мужчинами большую часть их трудов; и не уступят им в отважности, редкая из них боится старосты. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе, и называются копейщицами (от словенского слова копье). Главная обязанность копейщиц как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем устрашать злоумышление. Они столь целомудрены, как и прекрасны; на покушения дерзновенного отвечают сурово и выразительно.

Жители Горюхина издавна производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весною переправляются они на челноках, подобно древним скандинавам, а прочие времена года переходят вброд, предварительно засучив портки до колен.

Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разнится от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями — некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими. Однако ж великороссиянину легко понять горюхинца, и обратно.

Мужчины женивались обыкновенно на тринадцатом году на девицах двадцатилетних. Жены били своих мужей в течение четырех или пяти лет. После чего мужья уже начинали бить жен; и таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено.

Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти покойника относили на кладбище — дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От сего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая: «Свет-моя удалая головушка! на кого ты меня покинул? чем-то мне тебя поминати?» При возвращении с кладбища начиналася тризна в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны два-три дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранилися и поныне.

Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимою носили они овчинный тулуп, но более для красы, нежели из настоящей нужды, ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, требующем движения.

Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии. Сверх священника и церковных причетников, всегда водились в нем грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою. Сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. п. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучался писать правою ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как читатель увидит ниже, важную роль и в истории Горюхина.

Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев, балалайка и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла.

Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. Доныне стихотворения Архипа Лысого сохранились в памяти потомства.

В нежности не уступят они эклогам известного Виргилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостию и остроумием.

Приведем в пример сие сатирическое стихотворение:

Ко боярскому двору

Антон староста идет, (2)

Бирки в пазухе несет, (2)

Боярину подает,

А боярин смотрит,

Ничего не смыслит.

Ах ты, староста Антон,

Обокрал бояр кругом,

Село по миру пустил,

Старостиху надарил.

Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию.

БАСНОСЛОВНЫЕ ВРЕМЕНА

Староста Трифон

Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властию старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиком, и наконец непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования.

Основание Горюхина и первоначальное население оного покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оного были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких возах. В то время всё покупали дешево, а дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли

стадо в сапогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что достоверно:

Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемом.

Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек и требовали прежнего полного дохода от имения, в десять крат уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их на вече; старшины витийствовали, мир волновался, — а господа, вместо двойного оброку, получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом.

Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В последний год властвования Трифона, последнего старосты, народом избранного, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание (кабаком в просторечии именуемое) или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, заложенная парою кляч едва живых; на козлах сидел оборванный жид, а из брички высунулась голова в картузе и, казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. (NB. Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились над еврейским возницею и восклицали смехотворно: «Жид, жид, ешь свиное ухо!..» — Летопись горюхинского дьячка.) Но сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки. Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли неподалеку, спящего в переулке под забором, и привели незнакомцу. Но по приводе или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы письма, четко написанного, показались ему отуманенными, и он не был в состоянии их разобрать. Незнакомец, с ужасными проклятиями отослал спать старосту Трифона и земского Авдея, отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленький чемодан.

Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшествие, но вскоре бричка, жид и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело — и Горюхино заснуло, не предвидя, что ожидало его.

С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошки и призыванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служивший вечевою площадию. Глаза их были мутны и красны, лица опухлы; они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы, — и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста Трифон и земский Авдей стояли подле него без шапки с видом подобострастия и глубокой горести. «Все ли здесь?» — спросил незнакомец. «Все ли-ста здесь?» — повторил староста. «Все-ста», — отвечали граждане.

Тогда староста объявил, что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание мира. Авдей выступил и громогласно прочел следующее. (NB. «Грамоту грозновещую сию списах я у Трифона старосты, у него же хранилася она в кивоте вместе с другими памятниками владычества его над Горюхиным». Я не мог сам отыскать сего любопытного письма.)

Трифон Иванов!

Вручитель письма сего, поверенный мой **, едет в отчину мою село Горюхино для поступления в управление оного. Немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно: Приказаний поверенного моего ** им, мужикам, слушаться, как моих собственных. А все, чего он ни потребует, исполнять беспрекословно, в противном случае имеет он ** поступать с ними со всевозможною строгостию. К сему понудило меня их бессовестное непослушание, и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство.

Подписано NN.

Тогда **, растопыря ноги наподобие буквы хера и подбочась наподобие ферта, произнес следующую краткую и выразительную речь: «Смотрите ж вы у меня, не очень умничайте; вы, я знаю, народ избалованный, да я выбью дурь из ваших голов небось скорее вчерашнего хмеля». Хмеля ни в одной голове уже не было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы — и с ужасом разошлись по домам.

Правление приказчика**

** принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы; она заслуживает особенного рассмотрения.

Главным основанием оной была следующая аксиома. Чем мужик богаче, тем он избалованнее, чем беднее, тем смирнее. Вследствие сего ** старался о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. 1) Недоимки были разложены меж зажиточных мужиков и взыскаемы с них со всевозможною строгостию. 2) Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню, если же по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю; ибо от оного по очереди откупались все богатые мужики, пока, наконец, выбор не падал на негодяя или разоренного *. Мирские сходки были уничтожены. Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В три года Горюхино совершенно обнищало.

Горюхино приуныло, базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли. Ребятишки пошли по миру. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках; и день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.

*

Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в железы, а старик Тимофей сына откупил за 100 р.; а приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того откупил отец за 68 р., и хотел окаянный сковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес, и приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах, а отвезли в город и отдали в рекруты Ваньку пьяницу (Донесение горюхинских мужиков).

Барышная-крестьянка

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.

Богданович

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме «Сенатских Ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе:

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа, и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с! — говорил он с лукавой усмешкою, — у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом.Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не

соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай.Алексей был в самом деле молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того, чтоб рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: особенность характера, самобытность (individualité 1), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не в осуждение, однако ж Nota nostra manet 2, как пишет один старинный комментатор.Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Всё это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя, Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России.За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.— Позвольте мне сегодня пойти в гости, — сказала однажды Настя, одевая барышню.— Изволь; а куда?— В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.— Вот! — сказала Лиза, — господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.— А нам какое дело до господ! — возразила Настя, — к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело.— Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова; нагляделась довольно; целый день были вместе».— Как это? Расскажи, расскажи по порядку.— Извольте-с: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...— Хорошо, знаю. Ну потом?— Позвольте-с, расскажу всё по порядку. Вот пришли

мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...— Ну! а Берестов?— Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...— Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!— Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное блан-манже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.— Ну что ж? правда ли, что он так хорош собой?— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...— Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?— Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.— С вами в горелки бегать! Невозможно!— Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!— Воля твоя, Настя, ты врешь.— Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.— Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?— Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!— Это удивительно! А что в доме про него слышно?— Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится.— Как бы мне хотелось его видеть! — сказала Лиза со вздохом.— Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; (вы верно встретите его. Он же всякой день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту.— Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!— И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.— А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка! — И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностию

определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? Итак, она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «Tout beau, Sbogar ici...» 3 и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой, — боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей; — ты мне позволишь идти подле себя?» — «А кто те мешает? — отвечала Лиза, — вольному воля, а дорога мирская». — «Откуда ты?» — «Из Прилучина; я дочь Василья кузнеца, иду по грибы» (Лиза несла кузовок на веревочке). «А ты, барин? Тугиловский, что ли?» — «Так точно, — отвечал Алексей, — я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». — «Почему же ты так думаешь?» — «Да по всему». — «Однако ж?» — «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностию, — то не извольте забываться». — «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? — сказала она, — разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагляделась. Однако, — продолжала она, — болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» — «Акулиной, — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой; — да пусти ж, барин; мне и домой пора». — «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью кузнецу» — «Что ты? — возразила с живостию Лиза, — ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти». — «Да я непременно хочу с тобою опять видеться». — «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». — «Когда же?» — «Да хоть завтра». — «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» — «Да, да». — «И ты не обманешь меня?» — «Не обману». — «Побожись». — «Ну вот те святая пятница, приду».Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее, — сказал он, — как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решилась не сдержать своей

торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Всё это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил всё свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза, — довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошею погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он

соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренно доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа? — сказала она с удивлением, — отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» — «Вот уж не угадаешь, my dear» 4, — отвечал ей Григорий Иванович и рассказал всё, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите! — сказала она, побледнев. — Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». — «Что ты, с ума сошла? — возразил отец, — давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...» — «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, всё ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа, — отвечала Лиза, — я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». — «Опять какие-нибудь проказы! — сказал смеясь Григорий Иванович. — Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатилась около густозеленого дернового

круга. Старый Берестов взошел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренно жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностию, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастию, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексеево пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile 5 торчали как фижмы у Madame de Pompadour 6; талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя всё это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал. Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их? — спросил он Лизу. — А знаешь ли что? Белила право тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться; разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания, Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.Читатель

догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечор у наших господ? — сказала она тотчас Алексею, — какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...» — «Что же говорят?» — «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» — «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом». — «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и, чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души, «Однако ж, — сказала она со вздохом, — хоть барышня, может, и смешна, всё же я перед нею дура безграмотная». — «И! — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». — «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли и в самом деле?» — «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! — говорил Алексей. — Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по окладам «Наталью, боярскую дочь», прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича всё его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович) вероятно обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали всё это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время всё сладит.Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает!..» — «Нет, батюшка, — отвечал почтительно Алексей, — я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться». — «Хорошо, — отвечал Иван Петрович, — вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую

службу; а покамест намерен я тебя женить».— На ком это, батюшка? — спросил изумленный Алексей.— На Лизавете Григорьевне Муромской, — отвечал Иван Петрович; — невеста хоть куда; не правда ли?— Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.— Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.— Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.— После понравится. Стерпится, слюбится.— Я не чувствую себя способным сделать ее счастие.— Не твое горе — ее счастие. Что? так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро!— Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.— Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет, — отвечал слуга, — Григорий Иванович с утра изволил выехать». — «Как досадно!» — подумал Алексей. «Дома ли по крайней мере Лизавета Григорьевна?» — «Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада.«Всё будет решено, — думал он, подходя к гостиной, — объяснюсь с нею самою». — Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?» 7 — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.— Ага! — сказал Муромский, — да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

Росласлев

Читая «Рославлева», с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном. Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести. Он вновь обратил внимание публики на происшествие забытое, разбудил чувства негодования, усыпленные временем, и возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницею тени, — и читатель извинит слабость пера моего, уважив сердечные мои побуждения. Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги.Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не стану описывать первых моих впечатлений. Легко можно себе вообразить, что должна была

чувствовать шестнадцатилетняя девушка, променяв антресоли и учителей на беспрерывные балы. Я предавалась вихрю веселия со всею живостию моих лет и еще не размышляла... Жаль: тогдашнее время стоило наблюдения.Между девицами, выехавшими вместе со мною, отличалась княжна ** (г. Загоскин назвал ее Полиною, оставлю ей это имя). Мы скоро подружились вот по какому случаю.Брат мой, двадцатидвухлетний малый, принадлежал сословию тогдашних франтов, он считался в Иностранной коллегии и жил в Москве, танцуя и повесничая. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизить наши домы. Брат был идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что хотел.Сблизясь с Полиною из угождения к нему, вскоре я искренно к ней привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще не понимала ее, а уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями.Отец Полины был заслуженный человек, то есть ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем был ветрен и прост. Мать ее была, напротив, женщина степенная и отличалась важностию и здравым смыслом.Полина являлась везде; она окружена была поклонниками; с нею любезничали — но она скучала, и скука придавала ей вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это правильное и скучающее лицо.Полина чрезвычайно много читала и без всякого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был у ней. Библиотека большею частию состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность, от Монтескьё до романов Кребильона, была ей знакома. Руссо знала она наизусть. В библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую печать, и, вероятно, ничего по-русски не читала, не исключая и стишков, поднесенных ей московскими стихотворцами.Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже, слава богу, лет тридцать, как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке (NB: Автору «Юрия Милославского» грех повторять пошлые обвинения. Мы все прочли его, и, кажется, одной из нас обязан он и переводом своего романа на французский язык.) Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша, кажется, не старее Ломоносова и чрезвычайно еще ограниченна. Она, конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только «Историю Карамзина»; первые два или три романа появились два или три года назад, между тем как во Франции, Англии и Германии книги одна другой замечательнее следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговок, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток. Обращаюсь к моему предмету.Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху историческую. Однако ж появление в Москве одной путешественницы оставило во мне глубокое впечатление. Эта путешественница — m-me de Staël 1. Она приехала летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее и были по большей части недовольны ею. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший m-me de Staël еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Тут увидела я

сочинительницу «Корины». Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухою князя, нежели беседою m-me de Staël. Дамы чинились. Те и другие только изредка прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской знаменитости. Во все время обеда Полина сидела как на иголках. Внимание гостей разделено было между осетром и m-me de Staël. Ждали от нее поминутно bon-mot;2 наконец вырвалось у ней двусмыслие, и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, поднялся шепот удивления; князь был вне себя от радости. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. Гости встали из-за стола, совершенно примиренные с m-me de Staël: она сказала каламбур, который они поскакали развозить по городу.«Что с тобою сделалось, ma chère?3 — спросила я Полину, — неужели шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя смутить?» — «Ах, милая, — отвечала Полина, — я в отчаянии! Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к увлекательному разговору, высшей образованности. А здесь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течение трех часов! Тупые лица, тупая важность — и только! Как ей было скучно! Как она казалась утомленной! Она видела, чего им было надобно, что могли понять эти обезьяны просвещения, и кинула им каламбур. А они так и бросились! Я сгорела со стыда и готова была заплакать... Но пускай, — с жаром продолжала Полина, — пускай она вывезет об нашей светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере она видела наш добрый простой народ и понимает его. Ты слышала, что сказала она этому старому, несносному шуту, который из угождения к иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами: «Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову». Как она мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее гонителя!»Не я одна заметила смущение Полины. Другие проницательные глаза остановились на ней в ту же самую минуту: черные глаза самой m-me de Staël. Не знаю, что подумала она, но только она подошла после обеда к моей подруге и с нею разговорилась. Чрез несколько дней m-me de Staël написала ей следующую записку:Ma chère enfant, je suis toute malade. Il serait bien aimable à vous de venir me ranimer. Tâchez de l'obtenir de m-me votre mère et veuillez lui présenter les respects de votre amie *de S.*4Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объясняла мне своих сношений с m-me de Staël, несмотря на все мое любопытство. Она была без памяти от славной женщины, столь же добродушной, как и гениальной.До чего доводит охота к злословию! Недавно рассказывала я все это в одном очень порядочном обществе. «Может быть, — заметили мне, — m-me de Staël была не что иное, как шпион Наполеонов, а княжна ** доставляла ей нужные сведения». — «Помилуйте, — сказала я, — m-me de Staël, десять лет гонимая Наполеоном, благородная добрая m-me de Staël, насилу убежавшая под покровительство русского императора, m-me de Staël, друг Шатобриана и Байрона, m-me de Staël будет шпионом у Наполеона!..» — «Очень, очень может статься, — возразила востроносая графиня Б. — Наполеон был такая бестия, а m-me de Staël претонкая штука!»Все говорили о близкой войне и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастию, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и тому подобным. Молодые люди говорили

обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко.Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились простонародные листки графа Растопчина; народ ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.Полина не могла скрывать свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования. Такая проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. На бульваре, на Пресненских прудах, она нарочно говорила по-французски; за столом в присутствии слуг нарочно оспоривала патриотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности наполеоновых войск, о его военном гении. Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее в приверженности ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай бог, — говорила она, — чтобы все русские любили свое отечество, как я его люблю». Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у ней такая смелость. «Помилуй, — сказала я однажды, — охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта». Глаза ее засверкали. «Стыдись, — сказала она, — разве женщины не имеют отечества? разве нет у них отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтоб нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому присуждают нас. Посмотри на m-me de Staël: Наполеон боролся с нею, как с неприятельскою силой... И дядюшка смеет еще насмехаться над ее робостию при приближении французской армии! «Будьте покойны, сударыня: Наполеон воюет против России, не противу вас...» Да! если б дядюшка попался в руки французам, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но m-me de Staël в таком случае умерла бы в государственной темнице. А Шарлот Корде, а наша Марфа Посадница? а княгиня Дашкова? чем я ниже их? Уж, верно, не смелостию души и решительностию». Я слушала Полину с изумлением. Никогда не подозревала я в ней такого жара, такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: *Il n'est de bonheur que dans les voies communes* 5 *.Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел наконец и высшим обществом. Гостиные превратились в палаты прений. Везде толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении. Полина бредила им. «Вы чем пожертвуете?» — спросила она раз у моего брата. «Я не владею еще моим имением, — отвечал мой повеса. — У меня всего навсе тридцать тысяч долгу: приношу их в жертву на алтарь отечества». Полина рассердилась. «Для некоторых людей, — сказала она, — и честь и отечество, все безделица. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низкая, чтоб позволить таким фиглярам притворяться перед нею в любви». Брат мой вспыхнул. «Вы слишком взыскательны, княжна, — возразил он. — Вы требуете, чтобы все видели в вас m-me de Staël и говорили бы вам тирады из «Корины». Знайте, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом отечества и его неприятелей». С этим словом он отвернулся. Я думала, что они навсегда поссорились, но ошиблась: Полине понравилась дерзость моего брата, она простила ему неуместную шутку за благородный порыв

негодования и, узнав через неделю, что он вступил в Мамоновский полк, сама просила, чтоб я их помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свадьбу до конца войны. На другой день брат мой отправился в армию.Наполеон шел на Москву; наши отступали; Москва тревожилась. Жители ее выбирались один за другим. Князь и княгиня уговорили матушку вместе ехать в их ***скую деревню.Мы приехали в **, огромное село в двадцати верстах от губернского города. Около нас было множество соседей, большею частию приезжих из Москвы. Всякий день все бывали вместе; наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма из армии приходили почти каждый день, старушки искали на карте местечка *бивака* и сердились, не находя его. Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме газет, растопчинских афишек, и не открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коих понятия были ограничены, слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в глубокое уныние; томность овладела ее душою. Она отчаивалась в спасении отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла ее безнадежность, полицейские объявления графа Растопчина выводили ее из терпения. Шутливый слог их казался ей верхом неприличия, а меры, им принимаемые, варварством нестерпимым. Она не постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своем ужасе, мысли, которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за быстрыми движениями войск. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться в французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук. Мне не трудно было убедить ее в безумстве такого предприятия — но мысль о Шарлоте Корде долго ее не оставляла.Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный; он только и думал, чтоб жить в деревне как можно более по-московскому. Давал обеды, завел théâtre de société 6, где разыгрывал французские proverbes 7 и всячески старался разнообразить наши удовольствия. В город прибыло несколько пленных офицеров. Князь обрадовался новым лицам и выпросил у губернатора позволение поместить их у себя...Их было четверо — трое довольно незначащие люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны, правда, выкупающие свою хвастливость почтенными своими ранами. Но четвертый был человек чрезвычайно примечательный.Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему дому. Лицо его было приятно. Тон очень хороший. Мы тотчас отличили его. Ласки принимал он с благородной скромностию. Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег и столько же беспокоило французов, как ожесточало русских. «Но вы, — спросила его Полина, — разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора?» Сеникур (назову же и его именем, данным ему г-м Загоскиным) — Сеникур, несколько помолчав, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа. Сеникур признался, что устремление французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. «Кончен! — возразила Полина, — а Наполеон все еще идет вперед, а мы всё еще отступаем!» — «Тем хуже для нас», — отвечал Сеникур и заговорил о другом предмете.Полина, которой надоели и трусливые предсказания, и глупое хвастовство наших соседей, жадно слушала суждения, основанные на знании дела и беспристрастии. От брата получала я письма, в которых толку невозможно было добиться. Они были наполнены шутками, умными и плохими, вопросами о Полине, пошлыми уверениями в любви и проч. Полина, читая их, досадовала и пожимала плечами. «Признайся, — говорила она, — что твой Алексей препустой человек. Даже в нынешних обстоятельствах, с полей сражений находит он способ писать ничего не значащие письма, какова

же будет мне его беседа в течение тихой семейственной жизни?» Она ошиблась. Пустота братниных писем происходила не от его собственного ничтожества, но от предрассудка, впрочем самого оскорбительного для нас: он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются. Таковое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет сомнения, что русские женщины лучше образованны, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем.Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем; у всякого было свое самое верное известие, всякий имел список убитым и раненым. Брат нам не писал. Мы чрезвычайно были встревожены. Наконец один из развозителей всякой всячины приехал нас известить о его взятии в плен, а между тем пошепту объявил Полине о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена в моего брата и часто на него досадовала, но в эту минуту она в нем видела мученика, героя, и оплакивала втайне от меня. Насколько раз я застала ее в слезах. Это меня не удивляло, я знала, какое болезненное участие принимала она в судьбе страждущего нашего отечества. Я не подозревала, что было еще причиною ее горести.Однажды утром гуляла я в саду; подле меня шел Сеникур; мы разговаривали о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества и что ее красота сделала на него сильное впечатление. Я, смеясь, дала ему заметить, что положение его самое романическое. В плену у неприятеля раненый рыцарь влюбляется в благородную владетельницу замка, трогает ее сердце и наконец получает ее руку. «Нет, — сказал мне Сеникур, — княжна видит во мне врага России и никогда не согласится оставить свое отечество». В эту минуту Полина показалась в конце аллеи, мы пошли к ней навстречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила.«Москва взята», — сказала она мне, не отвечая на поклон Сеникура; сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Сеникур молчал, потупя глаза. «Благородные, просвещенные французы, — продолжала она голосом, дрожащим от негодования, — ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву — Москва горит уже два дни». — «Что вы говорите, — закричал Сеникур, — не может быть». — «Дождитесь ночи, — отвечала она сухо, — может быть, увидите зарево». — «Боже мой! Он погиб, — сказал Сеникур; как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет скорее отступить сквозь разоренную, опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным! И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад! нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное, варварское великодушие! Теперь все решено: ваше отечество вышло из опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором...»Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. «Неужели, — сказала она, — Сеникур прав и пожар Москвы наших рук дело? Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу».Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга и жаркие моления за отечество. «Ты не знаешь? — сказала мне Полина с видом вдохновенным, — твой брат... он счастлив, он не в плену — радуйся: он убит за спасение России».Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия...

1мадам де Сталь *(франц.).*

2остроты *(франц.).*

3моя дорогая *(франц.).*

4Дорогое дитя мое, я совсем больна. С вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы зашли ко мне оживить меня. Постарайтесь получить на то позволение вашей матери и будьте добры передать ей почтительный привет от любящей вас де С. *(франц.).*

5*Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах (франц.).*

*Кажется, слова Шатобриана. *(Прим. изд.)*

6домашний любительский театр *(франц.).*

7пословицы *(франц.).*

Гаврилиада

ПОЭМА

Воистину еврейки молодой
Мне дорого душевное спасенье.
Приди ко мне, прелестный ангел мой,
И мирное прими благословенье.
Спасти хочу земную красоту!
Любезных уст улыбкою довольный,
Царю небес и господу-Христу
Пою стихи на лире богомольной.
Смиренных струн, быть может, наконец
Ее пленят церковные напевы,
И дух святой сойдет на сердце девы;
Властитель он и мыслей и сердец.

Шестнадцать лет, невинное смиренье,
Бровь темная, двух девственных холмов
Под полотном упругое движенье,
Нога любви, жемчужный ряд зубов...
Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,
И по лицу румянец пробежал?
Нет, милая, ты право, обманулась:
Я не тебя, - Марию описал.

В глуши полей, вдали Ерусалима,
Вдали забав и юных волокит
(Которых бес для гибели хранит),
Красавица, никем еще не зрима,
Без прихотей вела спокойный век.
Ее супруг, почтенный человек,
Седой старик, плохой столяр и плотник,
В селенье был единственный работник.
И день и ночь, имея иного дел
То с уровнем, то с верною пилою,
То с топором, не много он смотрел
На прелести, которыми владел,
И тайный цвет, которому судьбою
Назначена была иная честь,
На стебельке не смел еще процвесть.

Ленивый муж своею старой лейкой
В час утренний не орошал его;
Он как отец с невинной жил еврейкой,
Ее кормил - и больше ничего.

Но, братие, с небес во время оно
Всевышний бог склонил приветный взор
На стройный стан, на девственное лоно
Рабы своей - и, чувствуя задор,
Он положил в премудрости глубокой
Благословить достойный вертоград,
Сей вертоград, забытый, одинокой,
Щедротою таинственных наград.

Уже поля немая ночь объемлет;
В своем углу Мария сладко дремлет.
Всевышний рек, - и деве снится сон;
Пред нею вдруг открылся небосклон
Во глубине своей необозримой;
В сиянии и славе нестерпимой
Тьмы ангелов волнуются, кипят,
Бесчисленны летают серафимы,
Струнами арф бряцают херувимы,
Архангелы в безмолвии сидят,
Главы закрыв лазурными крылами, -
И, яркими одеян облаками,
Предвечного стоит пред ними трон.
И светел вдруг очам явился он...
Все пали ниц... Умолкнул арфы звон.
Склонив главу, едва Мария дышит,
Дрожит как лист и голос бога слышит:
"Краса земных любезных дочерей,
Израиля надежда молодая!
Зову тебя, любовию пылая,
Причастница ты славы будь моей:
Готовь себя к неведомой судьбине,
Жених грядет, грядет к своей рабыне".

Вновь облаком оделся божий трон;
Восстал духов крылатый легион,
И раздались небесной арфы звуки...
Открыв уста, сложив умильно руки,
Лицу небес Мария предстоит.
Но что же так волнует и манит
Ее к себе внимательные взоры?
Кто сей в толпе придворных молодых
С нее очей не сводит голубых?
Пернатый шлем, роскошные уборы,
Сиянье крил и локонов златых,
Высокий стан, взор томный и стыдливый -
Всё нравится Марии молчаливой.
Замечен он, один он сердцу мил!
Гордись, гордись, архангел Гавриил!
Пропало всё. - Не внемля детской пени,

На полотне так исчезают тени,
Рожденные в волшебном фонаре.

Красавица проснулась на заре
И нежилась на ложе томной лени.
Но дивный сон, но милый Гавриил
Из памяти ее не выходил.
Царя небес пленить она хотела,
Его слова приятны были ей,
И перед ним она благоговела, -
Но Гавриил казался ей милей...
Так иногда супругу генерала
Затянутый прельщает адъютант.
Что делать нам? судьба так приказала, -
Согласны в том невежда и педант.

Поговорим о странностях любви
(Другого я не смыслю разговора).
В те дни, когда от огненного взора
Мы чувствуем волнение в крови,
Когда тоска обманчивых желаний
Объемлет нас и душу тяготит,
И всюду нас преследует, томит
Предмет один и думы и страданий, -
Не правда ли? в толпе младых друзей
Наперсника мы ищем и находим.
С ним тайный глас мучительных страстей
Наречием восторгов переводим.
Когда же мы поймали на лету
Крылатый миг небесных упоений
И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту,
Когда любви забыли мы страданье
И нечего нам более желать, -
Чтоб оживить о ней воспоминанье,
С наперсником мы любим поболтать.

И ты, господь! познал ее волненье,
И ты пылал, о боже, как и мы.
Создателю постыло всё творенье,
Наскучило небесное моленье, -
Он сочинял любовные псалмы
И громко пел: "Люблю, люблю Марию,
В унынии бессмертие влачу...
Где крылия? к Марии полечу
И на груди красавицы почию!.."
И прочее... всё, что придумать мог. -
Творец любил восточный, пестрый слог,
Потом, призвав любимца Гавриила,
Свою любовь он прозой объяснял.
Беседы их нам церковь утаила,
Евангелист немного оплошал!
Но говорит армянское преданье,
Что царь небес, не пожалев похвал,

В Меркурии архангела избрал,
Заметя в нем и ум и дарованье -
И вечерком к Марии подослал.
Архангелу другой хотелось чести:
Нередко он в посольствах был счастлив;
Переносить записочки да вести
Хоть выгодно, но он самолюбив.
И славы сын, намеренье сокрыв,
Стал нехотя услужливый угодник
Царю небес... а по земному сводник.

Но, старый враг, не дремлет сатана!
Услышал он, шатаясь в белом свете,
Что бог имел еврейку на примете,
Красавицу, которая должна
Спасти наш род от вечной муки ада.
Лукавому великая досада -
Хлопочет он. Всевышний между тем
На небесах сидел в унынье сладком,
Весь мир забыл, не правил он ничем -
И без него всё шло своим порядком.

Что ж делает Мария? Где она,
Иосифа печальная супруга?
В своем саду, печальных дум полна,
Проводит час невинного досуга
И снова ждет пленительного сна.
С ее души не сходит образ милый,
К архангелу летит душой унылой.
В прохладе пальм, под говором ручья
Задумалась красавица моя;
Не мило ей цветов благоуханье,
Не весело прозрачных вод журчанье...
И видит вдруг: прекрасная змия,
Приманчивой блистая чешуею,
В тени ветвей качается над нею
И говорит: "Любимица небес!
Не убегай, - я пленник твой послушный..."
Возможно ли? О, чудо из чудес!
Кто ж говорил Марии простодушной,
Кто ж это был? Увы, конечно, бес.

Краса змии, цветов разнообразность,
Ее привет, огонь лукавых глаз
Понравились Марии в тот же час.
Чтоб усладить младого сердца праздность,
На сатане покоя нежный взор,
С ним завела опасный разговор:

"Кто ты, змия? По льстивому напеву,
По красоте, по блеску, по глазам -
Я узнаю того, кто нашу Еву
Привлечь успел к таинственному древу
И там склонил несчастную к грехам.

Ты погубил неопытную деву,
А с нею весь адамов род и нас.
Мы в бездне бед невольно потонули.
Не стыдно ли?"
"Попы вас обманули,
И Еву я не погубил, а спас!"
"Спас! от кого?"
"От бога"
"Враг опасный!"
"Он был влюблен..."
"Послушай, берегись!"
"Он к ней пылал -"
"Молчи!"
"- любовью страстной,
Она была в опасности ужасной".
"Змия, ты лжешь!"
"Ей богу!"
"Не божись".
"Но выслушай..."

Подумала Мария:
Не хорошо в саду, наедине,
Украдкою внимать наветам змия,
И кстати ли поверить сатане?
Но царь небес меня хранит и любит,
Всевышний благ: он верно не погубит
Своей рабы, - за что ж? за разговор!
К тому же он не даст меня в обиду,
Да в змия скромна довольно с виду.
Какой тут грех? где зло? пустое, вздор! -
Подумала и ухо приклонила,
Забыв на час любовь и Гавриила.
Лукавый бес, надменно развернув
Гремучий хвост, согнув дугою шею,
С ветвей скользит - и падает пред нею;
Желаний огнь во грудь ее вдохнув,
Он говорит:

"С рассказом Моисея
Не соглашу рассказа моего:
Он вымыслом хотел пленить еврея,
Он важно лгал, - и слушали его.
Бог наградил в нем слог и ум покорный,
Стал Моисей известный господин,
Но я, поверь, - историк не придворный,
Не нужен мне пророка важный чин!

Они должны, красавицы другие,
Завидовать огню твоих очей;
Ты рождена, о скромная Мария,
Чтоб изумлять адамовых детей,
Чтоб властвовать над легкими сердцами,
Улыбкою блаженство им дарить,
Сводить с ума двумя-тремя словами,

По прихоти - любить и не любить...
Вот жребий твой. Как ты - младая Ева
В своем саду скромна, умна, мила,
Но без любви в унынии цвела;
Всегда одни, глаз-на-глаз, муж и дева
На берегах Эдема светлых рек
В спокойствии вели невинный век.
Скучна была их дней однообразность.
Ни рощи сень, ни молодость, ни праздность -
Ничто любви не воскрешало в них;
Рука с рукой гуляли, пили, ели,
Зевали днем, а ночью не имели
Ни страстных игр, ни радостей живых...
Что скажешь ты? Тиран несправедливый,
Еврейский бог, угрюмый и ревнивый,
Адамову подругу полюбя,
Ее хранил для самого себя...
Какая честь и что за наслажденье!
На небесах как будто в заточенье,
У ног его молися да молись,
Хвали его, красе его дивись,
Взглянуть не смей украдкой на другого,
С архангелом тихонько молвить слово;
Вот жребий той, которую творец
Себе возьмет в подруги наконец.
И что ж потом? За скуку, за мученье,
Награда вся дьячков осиплых пенье,
Свечи, старух докучная мольба,
Да чад кадил, да образ под алмазом,
Написанный каким-то богомазом...
Как весело! Завидная судьба!

Мне стало жаль моей прелестной Евы;
Решился я, создателю на зло,
Разрушить сон и юноши и девы.
Ты слышала, как всё произошло?
Два яблока, вися на ветке дивной
(Счастливый знак, любви символ призывный),
Открыли ей неясную мечту.
Проснулися неясные желанья;
Она свою познала красоту,
И негу чувств, и сердца трепетанье,
И юного супруга наготу!
Я видел их! любви - моей науки -
Прекрасное начало видел я.
В глухой лесок ушла чета моя...
Там быстро их блуждали взгляды, руки...
Меж милых ног супруги молодой
Заботливый, неловкой и немой,
Адам искал восторгов упоенья,
Неистовым исполненный огнем,
Он вопрошал источник наслажденья
И, закипев душой, терялся в нем...
И не страшась божественного гнева,

Вся в пламени, власы раскинув, Ева,
Едва, едва устами шевеля,
Лобзанием Адаму отвечала,
В слезах любви, в бесчувствии лежал
Под сенью пальм, - и юная земля
Любовников цветами покрывала.

Блаженный день! Увенчанный супруг
Жену ласкал с утра до темной ночи,
Во тьме ночной смыкал он редко очи,
Как их тогда украшен был досуг!
Ты знаешь: бог, утехи прерывая,
Чету мою лишил навеки рая.
Он их изгнал из милой стороны,
Где без трудов они так долго жили
И дни свои невинно проводили
В объятиях ленивой тишины.
Но им открыл я тайну сладострастья
И младости веселые права,
Томленье чувств, восторги, слезы счастья,
И поцелуй, и нежные слова.
Скажи теперь: ужели я предатель?
Ужель Адам несчастлив от меня?
Не думаю, но знаю только я,
Что с Евою остался я приятель".

Умолкнул бес. Мария в тишине
Коварному внимала сатане.
"Что ж? - думала, - быть может, прав лукавый;
Слыхала я: ни почестьми, ни славой,
Ни золотом блаженства не купить;
Слыхала я, что надобно любить...
Любить! Но как, зачем и что такое..."
А между тем вниманье молодое
Ловило всё в рассказах сатаны:
И действия и странные причины,
И смелый слог и вольные картины...
(Охотники мы все до новизны.)
Час от часу неясное начало
Опасных дум казалось ей ясней,
И вдруг змии как будто не бывало -
И новое явленье перед ней:
Мария зрит красавца молодого.
У ног ее, не говоря ни слова,
К ней устремив чудесный блеск очей,
Чего-то он красноречиво просит,
Одной рукой цветочек ей подносит,
Другою мнет простое полотно
И крадется под ризы торопливо,
И легкий перст касается игриво
До милых тайн... Всё для Марии диво,
Всё кажется ей ново, мудрено, -
А между тем румянец не стыдливый
На девственных ланитах заиграл -

И томный жар и вздох нетерпеливый
Младую грудь Марии подымал.
Она молчит: но вдруг не стало мочи,
Закрылися блистательные очи,
К лукавому склонив на грудь главу,
Вскричала: ах!.. и пала на траву...

О милый друг! кому я посвятил
Мой первый сон надежды и желанья,
Красавица, которой был я мил,
Простишь ли мне моя воспоминанья?
Мои грехи, забавы юных дней,
Те вечера, когда в семье твоей,
При матери докучливой и строгой
Тебя томил я тайною тревогой
И просветил невинные красы?
Я научил послушливую руку
Обманывать печальную разлуку
И услаждать безмолвные часы,
Бессонницы девическую муку.
Но молодость утрачена твоя,
От бледных уст улыбка отлетела,
Твоя краса во цвете помертвела...
Простишь ли мне, о милая моя!

Отец греха, Марии враг лукавый,
Ты стал и был пред нею виноват;
Ах, и тебе приятен был разврат...
И ты успел преступною забавой
Всевышнего супругу просветить
И дерзостью невинность изумить.
Гордись, гордись своей проклятой славой!
Спеши ловить... но близок, близок час!
Вот меркнет свет, заката луч угас.
Всё тихо. Вдруг над девой утомленной
Шумя парит архангел окриленный, -
Посол любви, блестящий сын небес.

От ужаса при виде Гавриила
Красавица лицо свое закрыла...
Пред ним восстав, смутился мрачный бес
И говорит: "Счастливец горделивый,
Кто звал тебя? Зачем оставил ты
Небесный двор, эфира высоты?
Зачем мешать утехе молчаливой,
Занятиям чувствительной четы?"
Но Гавриил, нахмуря взгляд ревнивый,
Рек на вопрос и дерзкий и шутливый:
"Безумный враг небесной красоты,
Повеса злой, изгнанник безнадежный,
Ты соблазнил красу Марии нежной
И смеешь мне вопросы задавать!
Беги сейчас, бесстыдник, раб мятежный,
Иль я тебя заставлю трепетать!"

"Не трепетал от ваших я придворных,
Всевышнего прислужников покорных,
От сводников небесного царя!" -
Проклятый рек и, злобою горя,
Наморщив лоб, скосясь, кусая губы,
Архангела ударил прямо в зубы.
Раздался крик, шатнулся Гавриил
И левое колено преклонил;
Но вдруг восстал, исполнен новым жаром,
И сатану нечаянным ударом
Хватил в висок. Бес ахнул, побледнел -
И ворвались в объятия друг другу.
Ни Гавриил, ни бес не одолел:
Сплетенные кружась идут по лугу,
На вражью грудь опершись бородой,
Соединив крест на крест ноги, руки,
То силою, то хитростью науки
Хотят увлечь друг друга за собой.

Не правда ли? вы помните то поле,
Друзья мои, где в прежни дни, весной,
О ставя класс, играли мы на воле
И тешились отважною борьбой.
Усталые, забыв и брань и речи,
Так ангелы боролись меж собой.
Подземный царь, буян широкоплечий,
Вотще кряхтел с увертливым врагом,
И, наконец, желая кончить разом,
С архангела пернатый сбил шелом,
Златой шелом, украшенный алмазом.
Схватив врага за мягкие власы,
Он сзади гнет могучею рукою
К сырой земле. Мария пред собою
Архангела зрит юные красы
И за него в безмолвии трепещет.
Уж ломит бес, уж ад в восторге плещет;
По счастию проворный Гавриил
Впился ему в то место роковое
(Излишнее почти во всяком бое),
В надменный член, которым бес грешил.
Лукавый пал, пощады запросил
И в темный ад едва нашел дорогу.

На дивный бой, на страшную тревогу
Красавица глядела чуть дыша;
Когда же к ней, свой подвиг соверша,
Приветливо архангел обратился,
Огонь любви в лице ее разлился
И нежностью исполнилась душа.
Ах, как была еврейка хороша!..

Посол краснел и чувствия чужие
Так изъяснял в божественных словах:
"О радуйся, невинная Мария!

Любовь с тобой, прекрасна ты в женах;
Стократ блажен твой плод благословенный,
Спасет он мир и ниспровергнет ад...
Но признаюсь душою откровенной,
Отец его блаженнее стократ!"
И перед ней коленопреклоненный
Он между тем ей нежно руку жал...
Потупя взор, прекрасная вздыхала,
И Гавриил ее поцеловал.
Смутясь она краснела и молчала,
Ее груди дерзнул коснуться он...
"Оставь меня!" - Мария прошептала,
И в тот же миг лобзаньем заглушен
Невинности последний крик и стон...

Что делать ей? Что скажет бог ревнивый?
Не сетуйте, красавицы мои,
О женщины, наперсницы любви,
Умеете вы хитростью счастливой
Обманывать вниманье жениха
И знатоков внимательные взоры,
И на следы приятного греха
Невинности набрасывать уборы...
От матери проказливая дочь
Берет урок стыдливости покорной
И мнимых мук, и с робостью притворной
Играет роль в решительную ночь;
И поутру, оправясь понемногу,
Встает бледна, чуть ходит, так томна.
В восторге муж, мать шепчет: слава богу,
А старый друг стучится у окна.

Уж Гавриил с известием приятным
По небесам летит путем обратным.
Наперсника нетерпеливый бог
Приветствием встречает благодатным:
"Что нового?" - "Я сделал всё, что мог,
Я ей открыл". - "Ну что ж она?" - "Готова!"
И царь небес, не говоря ни слова,
С престола встал и манием бровей
Всех удалил, как древний бог Гомера,
Когда смирял бесчисленных детей;
Но Греции навек погасла вера,
Зевеса нет, мы сделались умней!

Упоена живым воспоминаньем,
В своем углу Мария в тишине
Покоилась на смятой простыне.
Душа горит и негой и желаньем,
Младую грудь волнует новый жар.
Она зовет тихонько Гавриила,
Его любви готовя тайный дар,
Ночной покров ногою отдалила,
Довольный взор с улыбкою склонила,

И, счастлива в прелестной наготе,
Сама своей дивится красоте.
Но между тем в задумчивости нежной
Она грешит, - прелестна и томна,
И чашу пьет отрады безмятежной.
Смеешься ты, лукавый сатана!
И что же! вдруг мохнатый, белокрылый
В ее окно влетает голубь милый,
Над нею он порхает и кружит
И пробует веселые напевы,
И вдруг летит в колени милой девы,
Над розою садится и дрожит,
Клюет ее, копышется, ветится,
И носиком и ножками трудится.
Он, точно он! - Мария поняла,
Что в голубе другого угощала;
Колени сжав, еврейка закричала,
Вздыхать, дрожать, молиться начала,
Заплакала, но голубь торжествует,
В жару любви трепещет и воркует,
И падает, объятый легким сном,
Приосеня цветок любви крылом.

Он улетел. Усталая Мария
Подумала: "Вот шалости какие!
Один, два, три! - как это им не лень?
Могу сказать, перенесла тревогу:
Досталась я в один и тот же день
Лукавому, архангелу и богу".

Всевышний бог, как водится, потом
Признал своим еврейской девы сына,
Но Гавриил (завидная судьбина!)
Не преставал являться ей тайком;
Как многие, Иосиф был утешен,
Он пред женой попрежнему безгрешен,
Христа любил как сына своего,
За то господь и наградил его!

Аминь, аминь! Чем кончу я рассказ?
Навек забыв старинные проказы,
Я пел тебя, крылатый Гавриил,
Смиренных струн тебе я посвятил
Усердное, спасительное пенье:
Храни меня, внемли мое моленье!
Досель я был еретиком в любви,
Младых богинь безумный обожатель,
Друг демона, повеса и предатель...
Раскаянье мое благослови!
Приемлю я намеренья благие,
Переменюсь: Елену видел я;
Она мила как нежная Мария!
Подвластна ей навек душа моя.
Моим речам придай очарованье,

Понравиться поведай тайну мне,
В ее душе зажги любви желанье
Не то пойду молиться сатане!
Но дни бегут, и время сединою
Мою главу тишком посеребрит,
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
Иосифа прекрасный утешитель!
Молю тебя, колена преклони,
О рогачей заступник и хранитель,
Молю - тогда благослови меня,
Даруй ты мне беспечность и смиренье,
Даруй ты мне терпенье вновь и вновь
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь!

1821

Александр Герцен

Справочный материал

"Повести и рассказы" содержат в себе почти всю беллетристику Герцена, за исключением романа "Кто виноват?" и ранних романтических произведений ("Легенда", "Елена" и др.). Эти повести и рассказы и сегодня имеют для нас большой общественный и литературный интерес.

Книга открывается автобиографическими "Записками одного молодого человека" (1838--1840). По содержанию эта вещь совпадает с начальными главами "Былого и дум", хотя отбор фактов здесь менее строгий и продуманный. Несмотря на некоторую литературную неопытность и даже подражательность "Записок" ("заметный... след Гейне", по признанию самого Герцена), Белинский считал, что уже по ним "можно было предугадывать в авторе будущего даровитого романиста, судя по верности и живости этих легких очерков" {В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, с. 317.}. И действительно, вещи более позднего периода, включенные в сборник, свидетельствуют уже о гораздо более зрелом мастерстве Герцена.

Эти произведения отчетливо разделяются на две группы. К первой относится все написанное до того "духовного краха" Герцена после поражения революции 1848 года, о котором говорит Ленин. Это -- "Доктор Крупов", "Сорока-воровка" и "Мимоездом", относящиеся к 1846 году, и повесть "Долг прежде всего", начатая (и неоконченная) в начале 1849 года. Пафос этих вещей -- в борьбе против крепостничества. "Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши

просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками" {В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, с. 520.}.

Самое яркое из этих произведений -- "Сорока-воровка". Это рассказ о талантливой крепостной актрисе, замученной ее владельцем-князем. Героиня -- сильный и страстный женский характер. Она ни на минуту не теряет человеческого достоинства. В свою игру -- единственное, что ей осталось, -- она вкладывает гневный протест против рабского положения крепостной женщины. Она мечтает играть в "Коварстве и любви" Шиллера, потому что в этой пьесе "так много близкого душе, так много негодования, упрека... да князь не любит таких пьес". Актриса Аннет близка Любоньке Круциферской из романа Герцена "Кто виноват?", Ольге из "Обломова" Гончарова и Елене из "Накануне" Тургенева,-- женщинам, которых Добролюбов считал положительными типами русской литературы.

Обобщенная критика русских порядков и нравов дана в повести "Доктор Крупов", о которой Белинский говорил, что "по мысли и по выполнению это решительно лучшее произведение прошлого (1847. -- Б. К.) года" {В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, с. 326.}. Герою повести, доктору Крупову, все окружающие люди, а в особенности русские чиновники, кажутся "поврежденными", сумасшедшими. Он видит подтверждение этого в трудах историков и в записках путешественников: "В средних веках все безумно..." "Восток -- классическая страна безумия"; впрочем, и в Европе "остались несколько видоизмененными... все азиатские глупости". Оригинальная теория доктора Крупова является иронической формой критики всех видов азиатской неподвижности и средневековой косности, характерных в особенности для крепостной России.

Вторая группа рассказов Герцена, написанных в 50--60-х годах, посвящена главным образом уже западной тематике. Ленин говорил, что просветители в России "искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного" {В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, с. 520.}. Но Герцен эмигрировал в Европу в 1847 году, он сам непосредственно наблюдал, как в июньские дни 1848 года буржуазия становилась реакционной, выступая против своих вчерашних союзников -- рабочих. Классовый смысл этого краха буржуазной демократии не был ясен Герцену, и это приводило его к своеобразному историческому скептицизму и пессимизму, которые звучат в рассказах "Поврежденный", "Скуки ради", "Aphorismata". ("Светило разума", -- говорится в "Aphorismata", -- постоянно будет пребывать "все в том же расстоянии от земного шара, как бы он ни торопился".) Но скептицизм здесь имеет антибуржуазный характер. В этих рассказах герценовский сарказм бьет уже не по русским порядкам, а по западному либерализму, "который расстреливал рабочих в 48 году, который восстановлял разрушенные троны, который рукоплескал Наполеону III и который проклинал, не умея понять его классовой природы, Герцен" {Там же, т. 21, с. 257.}.

Лучший из этой группы рассказов -- "Доктор, умирающие и мертвые" -- строится на иронической параллели между французской революцией 1789 года в лице умирающего старика-якобинца Гракха Рольера и революцией 1848 года в лице его сына, либерала-нотариуса. Рассказчик-доктор издевается над буржуазными деятелями 1848 года, пародировавшими 1789 год ("Людям этим надобно было сшить себе белые жилеты с отворотами à la Robespierre, чтобы их приняли за якобинцев"). Он не скрывает своего восхищения последними могиканами якобинского прошлого, сравнивая их с деятелями английской буржуазной революции XVII века. "Таких людей больше нет. Должно быть, на людей бывает урожай, как на виноград... В Англии комета на людей была во времена Кромвеля, а у нас -- в конце XVIII... Пуритане, доживавшие свой век в Швейцарии и

Голландии, сильно сбивались на старых якобинцев, только одни все объясняли по Исаию и Иезекиилю, а другие -- по Тациту и Плутарху".

Гракх Рольер умирает, радуясь грому пушек, доносящейся "Марсельезе" и крикам "Республика!". Начинается февральская революция 1848 года. Но последние минуты старика отравлены: его сын, не желая потерять практику среди респектабельных слоев населения, пытается инсценировать возвращение заблудшей овцы в лоно католической церкви: к ложу умирающего вольнодумца притаскивают попа, и старик умирает с выражением отвращения и гнева на лице. Вспомните, с какой либеральной слащавостью описано примирение между епископом Мириелем и умирающим стариком-якобинцем в "Отверженных" Гюго, и вы оцените картину, нарисованную Герценом.

Интересно, что, в отличие от предыдущих, этот рассказ заканчивается оптимистически: "Рассказ доктора о гражданине Рольере я писал в марте 1869 года. Через три месяца... удушливая тяжесть атмосферы Парижа и Франции изменилась... Явились новые люди и силы". Здесь Герцен имеет в виду крупную победу оппозиции над правительством, приведшую в парламент ряд будущих участников Парижской коммуны. Но рассказ появился лишь среди посмертных статей. Герцен умер вскоре после его написания, за год до первого самостоятельного выступления пролетариата. Деятельность Герцена не вышла за пределы "той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела" {В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.}.

Большинство вещей сборника показывает нам Герцена как большого художника. Это прежде всего блестящий стилист, человек высокой и разносторонней культуры, владеющий гибким, красочным и остроумным языком. "Главное орудие Искандера, которым он владеет с таким удивительным мастерством, -- писал Белинский о Герцене, -- ирония, нередко возвышающаяся до сарказма, но чаще обнаруживающаяся легкою, грациозною и необыкновенно добродушною шуткою" {В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, с. 325.}. Начав -- и не случайно -- с учебы у Гейне, Герцен создал затем свой особый жанр беллетристики. Герцен считал своим призванием "просто писать о чем-нибудь жизненном и без всякой формы... Это просто ближайшее писание к разговору -- тут и факты, и слезы, и хохот, и теория..." {}А. И. Герцен. Собр. соч., т. XXVI, с. 60.. Этот свой идеал Герцен до конца воплотил в жанре художественных мемуаров ("Былое и думы"), но и вся его беллетристика представляет собой поиски такой свободной формы.

Неутомимый пропагандист, как все просветители, Герцен дополняет свои яркие художественные картины обобщающими рассуждениями. "Сорока-воровка" начинается с теоретического спора между славянофилом и западником о положении русской женщины, и весь последующий рассказ служит блестящим ответом славянофилу. "Доктор Крупов", наоборот, начинается с описания детства доктора; нарисовав с большой теплотой образ юродивого мальчика Левки, доктор Крупов пользуется им как поводом для развития своей психиатрической теории, иногда иллюстрируя ее весьма живыми портретами-характеристиками. Рассказав обстоятельства смерти Рольера, Герцен раскрывает типичность этого случая; он приводит статью из католической газеты по поводу похорон Рольера и присоединяет затем сцену, где президент республики Марраст оправдывает свой клерикализм в тех же выражениях, что и Рольер-младший, нотариус.

Все изложение очень эмоционально. Отношение автора к описанным событиям высказывается в его репликах, восклицаниях, отступлениях. Эта своеобразная "лирическая публицистика" -- еще не признак слабости самих художественных образов. "Может, найдутся особы, которые не станут

читать мысли, а одни сцены, -- говорит Герцен, -- пусть же самые сцены ведут к этим мыслям" {Там же, т. XXI, с. 112.}.

И Герцен умеет выбирать такие острые и типические положения, что они невольно будят в читателе именно те мысли, которых добивается автор. Образы, созданные Герценом (актриса Аннет, гражданин Рольер), запоминаются надолго. Про фигуру Левки из "Доктора Крупова" Белинский говорил, что она "сделала бы честь любому художнику".

Белинский так определяет особенность таланта Герцена: "Он -- философ по преимуществу, а между тем немножко и поэт, и воспользовался этим, чтобы изложить свои понятия о жизни притчами" {В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, с. 326.}. "...Главная сила его -- ...в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой. Могущество этой мысли -- главная сила его таланта; художественная манера схватывать верно явления действительности -- второстепенная, вспомогательная сила его таланта" {Там же, с. 318.}.

В публицистике многих русских реалистов прошлого века ограниченность их мировоззрения сказывалась сильнее, чем в художественном творчестве, где правдивые, реалистические сцены часто говорили гораздо больше о. социальной действительности, чем непосредственно высказанные взгляды авторов. Поэтому критики типа Белинского, Добролюбова, Чернышевского, руководствуясь своим передовым мировоззрением, могли делать из их произведений революционно-демократические выводы. У Герцена же демократизм выступал в сознательной форме.

Герцен был одним из одареннейших мыслителей своей эпохи. "В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени" {В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.}. Поэтому его образы не приходили в противоречие с выводами. Поэтому Белинский не вычеркивал произведений Герцена из области искусства, а говорил, что деятельность таких талантов "образует особенную сферу искусства, в которой фантазия является на втором месте, а ум -- на первом. На это различие мало обращают внимания,-- добавлял Белинский, -- и оттого в теории искусства выходит страшная путаница. Хотят видеть в искусстве своего рода умственный Китай, резко отделенный точными границами от всего, что не искусство в строгом смысле слова" {В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, с. 318.}.[16]

Доктор Крупов[17]

Повесть

О ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЯХ ВООБЩЕ

[16] *"Литературное обозрение", 1936, No 8.*

[17] «Герцен А., Проза»: © Современник; 1986

И ОБ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОНЫХ

В ОСОБЕННОСТИ

Сочинение доктора Крупова [18]

Много и много лет прошло уже с тех пор, как я постоянно посвящаю время, от лечения больных и исполнения обязанностей остающееся, на изложение сравнительной психиатрии с точки зрения совершенно новой. Но недоверие к силам, скромность и осторожность до-реле воспрещали мне всякое обнародование моей теории. Ныне делаю первый опыт сообщить благосклонной публике часть моих наблюдений. Делаю оное, побуждаемый предчувствием скорого перехода в минерально-химическое царство, коего главное неудобство — отсутствие сознания. Полагаю, что на — мне лежит обязанность узнанное мною закрепить, так сказать, вне себя добросовестным рассказом для пользы и соображения сотоварищам по науке; мне кажется, что я не имею права допустить мысль мою бесследно исчезнуть при новых, предстоящих большим полушариям мозга моего, химических сочетаниях и разложениях.

Узнав случайно о вашем сборнике, я решился послать в него отрывок из введения потому именно, что оно весьма общедоступно: в оном, собственно, содержится не теория, а история возникновения оной в, голове моей. При сем не излишним считаю предупредить вас, что я всего менее литератор и, проживая ныне лет тридцать в губернском городе, удаленном как от резиденции,[19] так и от столицы, я отвык от красноречивого изложения мыслей и не привык к модному языку. Не должно, однако, терять из виду, что цель моя вовсе не беллетристическая, а патологическая. Я не пленить хочу моими сочинениями, а быть полезным, сообщая чрезвычайно важную теорию, доселе от внимания величайших врачей ускользнувшую, ныне же недостойнейшим из учеников Иппократа [20] наукообразно развитую и наблюдениями проверенную.

Сию теорию посвящаю я вам, самоотверженные врачи, жертвующие временем вашим печальному занятию лечения и хождения за страждущими душевными болезнями.

S. Croupoff M. et Ch. Doctor. **[21]**

I

Я родился в одном помещичьем селении на берегу Оки. Отец мой был диаконом. Возле нашего домика жил пономарь, человек хилый, бедный и обремененный огромной семьей. В числе восьми детей, которыми бог наградил пономаря, был один ровесник мне; мы с ним вместе росли, всякий день вместе играли в огороде, на погосте или перед нашим домом. Я ужасно привязался к товарищу, делился с ним всеми лакомствами, которые мне давали, даже крал для

---

[18] Этот небольшой отрывок был помещен в «Современнике» 1847 года с значительными пропусками, сделанными цензурой. Мы его печатаем теперь в настоящем виде. *(Примеч. А. И. Герцена.)*

[19] *…от резиденции…* — т. е. от Москвы, превратившейся из столицы в резиденцию царской семьи.

[20] *Иппократ* (Иппократ) — древнегреческий врач (ок. 460–370 до н. э.).

[21] С. Крупов, медицины и хирургии доктор *(лат.).*

него спрятанные куски пирога, кашу — и передавал через плетень. Приятеля моего все звали «косой Левка», он действительно немного косил глазами. Чем более я возвращаюсь к воспоминаниям о нем, чем внимательнее перебираю их, тем яснее мне становится, что Пономарев сын был ребенок необыкновенный; шести лет он плавал, как рыба, лазил на самые большие деревья, уходил за несколько верст от дома один-одинехонек, ничего не боялся, был как дома в лесу, знал все дороги и в то же время был чрезвычайно непонятлив, рассеян, даже туп. Лет восьми нас стали учить грамоте; я через несколько месяцев бегло читал псалтырь, а Левка не дошел и до складов. Азбука сделала переворот в его жизни. Отец его употреблял всевозможные средства, чтобы развить умственные способности сына — и не кормил дня по два, и сек так, что недели две рубцы были видны, и половину волос выдрал ему, и запирал в темный чулан на сутки, — все было тщетно, грамота Левке не давалась; но безжалостное обращение он понял, ожесточился и выносил все, что с ним делали, с какой-то злою сосредоточенностию. Это ему не дешево стоило: он исхудал, вид его, выражавший прежде детскую кротость и детскую беззаботность, стал выражать дикость запуганного зверя; на отца он не мог смотреть без ужаса и отвращения. Побился еще года два пономарь с сыном, увидел наконец, что он глупорожденный, и предоставил ему полную волю.

Освобожденный Левка стал пропадать целые дни, приходил домой греться или укрываться от непогоды, садился в угол и молчал, а иногда бормотал про себя разные неясные слова и вел дружбу только с двумя существами — со мной и с своей собачонкой. Собачонку эту он приобрел неотъемлемым правом. Раз, когда Левка лежал на песке у реки, крестьянский мальчик вынес щенка, привязал ему камень на шею и, подойдя к крутому берегу, где река была поглубже, бросил туда собачонку; в один миг Левка отправился за нею, нырнул и через минуту явился на поверхности с щенком; с тех пор они не разлучались.

Лет двенадцати меня отправили в семинарию. Два года я не был дома, на третий я приехал провести вакационное время[22] к отцу. На другой день утром рано я надел свой новый затрапезный халат и хотел идти осматривать знакомые места. Только я вышел на двор, у плетня стоит Левка, на том самом месте, где, бывало, я ему давал пироги; он бросился ко мне с такою радостью, что у меня слезы навернулись. «Сенька, — говорил он, — я всю ночь ждал Сеньку». Груша вчера молвила: «Сенька приехал», — и он ласкался ко мне, как зверок, с каким-то подобострастием смотрел мне в глаза и спрашивал: «Ты не сердит на меня? Все сердиты на Левку, — не сердись, Сенька, я плакать буду, не сердись, я тебе векшу поймал». Я бросился обнимать Левку; это так ново, так необыкновенно было для него, что он просто зарыдал и, схвативши мою руку, целовал ее, я не мог ее отдернуть, так крепко он держал ее. «Пойдем-ка в лес», — сказал я ему. «Пойдем далеко за буераки, хорошо будет, очень хорошо», — отвечал он. Мы пошли; он вел версты четыре лесом, поднимавшимся в гору, и вдруг вывел на открытое место; внизу текла Ока, кругом верст на двадцать стелился один из превосходных сельских видов Великороссии.

«Здесь хорошо, — говорил Левка, — здесь хорошо». — «Что же хорошо?» — спросил я его, желая испытать. Он остановил на мне какой-то неверный взгляд, лицо его приняло другое, болезненное выражение, он покачал головой и сказал: «Левка не знает, так хорошо!» Мне стало смерть стыдно. Левка сопровождал меня на всех прогулках, его безграничная преданность, его беспрерывное внимание сильно трогали меня. Привязанность его ко мне была понятна, один я обходился с ним ласково. В семье им гнушались, стыдились его; крестьянские мальчики дразнили его, даже взрослые мужики делали ему всякого рода обиды и оскорбления, приговаривая: «Юродивого обижать не надо, юродивый — божий человек». Он обыкновенно ходил задами села, когда же ему случалось идти улицей, одни собаки обходились с ним по-человечески; они, издали завидя его, виляли хвостом и бежали к нему навстречу, прыгали на шею, лизали в лицо и ласкались до того, что Левка, тронутый до слез, садился середь дороги и целые часы занимал из благодарности своих приятелей, занимал их до тех пор, пока какой-нибудь крестьянский мальчик пускал камень наудачу, в собак ли попадёт или в бедного мальчика; тогда он вставал и убегал в

---

[22] *Вакационное время* — каникулы, свободное от занятий время.

лес.

Перед сельским праздником мой отец, видя, что Левка весь в лохмотьях, велел моей матери скроить ему длинную рубашку и отдать ее сестрам сшить. Управитель, услышавши об этом, дал толстого домашнего сукна для него на кафтан. При господском доме был приставлен старик лакей, он был приставлен не столько по способности смотреть за чем-нибудь, сколько за пьянство. Этот лакей был фершал и портной; он весьма затруднился, когда получил от управляющего приказ сшить Левке кафтан, — как скроить дурацкий кафтан? Сколько он ни думал, все выходил довольно обыкновенный кафтан, а потому он и решился на отчаянное средство — пришить к нему красный поротник из остатков какой-то старинной ливреи. Левка был ужасно рад и новой рубашке, и кафтану, и красному воротнику, хотя, по правде сказать, радоваться было нечему. Доселе крестьянские мальчики несколько удерживались, но когда на Левку одели парадный мундир дурака — гонения и насмешки удвоились. Одни женщины были на стороне Левки, подавали ему лепешки, квасу и браги и говорили иногда приветливое слово; мудрено ли, впрочем, что бабы и девки, задавленные патриархальным гнетом мужниной и отцовской власти, сочувствовали безвинно гонимому мальчику. Мне было чрезвычайно жаль Левку, но помочь ему было трудно; унижая его, казалось, добрые люди росли в своих собственных глазах. Серьезно с ним никто слова не молвил; даже мой отец, от природы вовсе не злой человек, хотя исполненный предрассудков и лишенный всякого снисхождения, и тот иначе не мог обращаться с Левкой, как унижая его и возвышая себя.

— А что, Левка, — говорил он ему, — любишь ли ты кого-нибудь больше этого пса смердящего?

— Люблю, — отвечал Левка, — Сеньку люблю больше.

— Видишь, губа-то не дура, ну, а еще кого больше любишь?

— Никого, — простодушно отвечал Левка.

— Ах, глупорожденный, глупорожденлый, ха-ха-ха, а мать родную меньше любишь разве?

— Меньше, — отвечал Левка.

— А отца твоего?

— Совсем не люблю.

— О господи боже мой, чти отца твоего и матерь, твою, а ты, дурак, что? Бессмысленные животные и те любят родителей, как же разумному подобию божию не любить их?

— Какие животные?

— Ну какие — лошади, псы, всякие.

Левка качал головой: «Разве щенята, а большие нет. Они так любят, кто по нраву придется, вот наша кошка Машка любит моего Шарика».

И батюшка мой хохотал от души, прибавляя: «Блаженны нищие духом!»

Я тогда уже оканчивал риторику, и потому нетрудно понять, отчего мне в голову пришло написать «Слово о богопротивном людей обращении с глупорожденными». Желая расположить мое сочинение по всем квинтиллиановским[23] правилам, с соблюдением законов хрии, я, обдумывая его, пошел по дороге, шел, шел, не замечая того, очутился в лесу; так как я взошел в него без внимания, то и не удивительно, что потерял дорогу, искал, искал и еще более терялся в лесу; вдруг слышу знакомый лай Левкиной собаки; я пошел в ту сторону, откуда он раздавался, и вскоре был встречен Шариком; шагах в пятнадцати от него, под большим деревом, спал Левка. Я тихо подошел к нему и остановился. Как кротко, как спокойно спал он! Он был дурен собой на первый взгляд, белые льняные волосы прямо падали с головы странной формы, бледный лицом, с белыми ресницами и несколько косившимися глазами. Но никто никогда не дал себе труда вглядеться в его лицо; оно вовсе не было лишено своей красоты, особенно теперь, когда он спал; щеки его немного раскраснелись, косые глаза не были видны, черты его выражали такой мир душевный, такое спокойствие, что становилось завидно.

Тут, стоя перед этим спящим дурачком, я был поражен мыслью, которая преследовала меня всю жизнь. С чего люди, окружающие его, воображают, что они лучше его, отчего считают себя

---

[23] *Квинтилиан М. Ф.* (ок. 35–96 н. э.) — теоретик ораторского искусства в Древнем Риме.

вправе презирать, гнать это существо, тихое, доброе, никому никогда не сделавшее вреда? И какой-то таинственный голос шептал мне: «Оттого, что и все остальные — юродивые, только на свой лад, и сердятся, что Левка глуп по-своему, а не по их».

Странная мысль эта выгнала у меня из головы все хрии и метафоры, я оставил спящего Левку и пошел бродить наудачу по лесу, с какой-то внутренней болью перевертывая и вглядываясь в новую мысль. «В самом деле, думалось мне, — чем Левка хуже других? Тем, что он не приносит никакой пользы, ну, а пятьдесят поколений, которые жили только для того на этом клочке земли, чтобы их дети не умерли с голоду сегодня и чтобы никто не знал, зачем они жили и для чего они жили, — где же польза их существования? Наслаждение жизнию? Да они ей никогда не наслаждались, по крайней мере гораздо меньше Левки. Дети? Дети могут быть и у Левки, это дело нехитрое. Зачем Левка не работает? Что за беда; он ни у кого ничего не просит, кой-как сыт. Работа — не наслаждение, кто может обойтись без работы, тот не работает, все остальные на селе работают без всякой пользы, работают целый день, чтобы съесть кусок черствого хлеба, а хлеб едят для того, чтобы завтра работать, в твердой уверенности, что все выработанное не их. Здешний помещик, Федор Григорьевич, один ничего не делает, а пользы получает больше всех, да и то он ее не делает, она как-то сама делается ему. Жизнь его, сколько я знаю, проходит в большей пустоте, нежели жизнь Левки, который, чего нет другого, гуляет, а тот все сердится. Чем Левка сыт, я не понимаю, но знаю одно, что как он ни туп, но если наберет земляники или грибов, то его не так-то легко убедить, что он может есть одни неспелые ягоды да сыроежки, а что вкусные ягоды и белые грибы принадлежат, ну, хоть отцу Василию. Левка никогда дома не живет, не исполняет ни гражданских, ни семейных обязанностей сына, брата. Ну, а те, которые дома живут, разве исполняют? У него есть еще семь братьев и сестер, живущих дома в каком-то состоянии постоянной войны между собой и с пономарем. Все так, но пустая жизнь его. Да отчего же она пустая? Он вжился в природу, он понимает ее красоты по-своему — а для других жизнь — пошлый обряд, тупое одно и то же, ни к чему не ведущее».

И я постоянно возвращался к основной мысли, что причина всех гонений на Левку состоит в том, что Левка глуп на свой особенный салтык, — а другие повально глупы; и так, как картежники не любят неиграющего, а пьяницы непьющего, так и они ненавидят бедного Левку. Однако диссертации я не написал; для меня, ученика семинарии, казалось трудным и даже неприличным писать о таких суетных предметах. Нас учили всё писать о предметах возвышенных, душу и сердце возносящих горé. Вакационное время прошло, пора мне было возвращаться в монастырь. Когда батюшка мой заложил пегую лошадку нашу в телегу, чтобы отвезти меня, Левка пришел опять к плетню, он не совался вперед, а, прислонившись к верее, обтирал по временам грязным спущенным рукавом рубашки слезы. Мне было очень грустно его оставить; я подарил ему всяких безделушек, он на все смотрел печально. Когда же я стал садиться в телегу, Левка подошел ко мне и так печально, так грустно сказал: «Сенька, прощай», — а потом подал мне Шарика и сказал: «Возьми, Сенька, Шарика себе». Дороже предмета у Левки не было, и он отдавал его. Я насилу уговорил его оставить Шарика у себя, что, пусть он будет мой — но жить у него. Мы поехали. Левка пустился лесом и выбежал на гору, мимо которой шла дорога; я увидел его и стал махать платком. Он стоял неподвижно на горе, опираясь на свою палку.

Мысль о Левке, о причине его странного развития не выходила из головы моей. Она мешала мне вполне предаваться изучению духовных предметов, и я вместо превыспренних созерцаний стремился к изучению предметов земных, несмотря на то что я знал ничтожность всего телесного и суетность всего физического. Мало-помалу во мне развилось непреодолимое желание изучать медицину. Когда я впервые заикнулся об этом отцу моему, он взошел в неописанный гнев. «Ах ты, баловень презорный, — кричал он на меня, — вот как схвачу за вихры, так ты у меня и — узнаешь, где раки зимуют. Деды твои и отцы не хуже тебя были, да не выходили из своего звания, а ты что вздумал? Пришлось под старость дожить до такого сраму, — вот, и радость, приносимая сыном, от плоти моей рожденным. Не один, видно, пономарь посещен богом, недаром с дураком валандаешься вечно, свой своему поневоле брат. А все ты, малоумная баба, испортила его», — прибавил батюшка, обращаясь к матушке. Почему именно матушка была виновата, что я хотел учиться медицине, этого я не знаю. «Господи, — думал я, — да что же я сделал такое, мне хочется заниматься медициной, а послушаешь батюшку, право, подумаешь, что я просился на большую

дорогу людей резать». Дал я место, родительскому гневу, промолчал; через месяц опять завел было речь; куда ты — с первого слова так его лицо и зардело. Делать нечего, жду особого случая, а сам только и занимаюсь латынью. Отец ректор славно знал латинский; язык и полюбил меня за мои успехи. Я выбрал минуту добрую да в ноги ему; он так кротко и благосклонно сказал: «Встань, сын мой, встань, что тебе надобно, говори просто». Я рассказал ему о моем желании и просил замолвить отцу. Отец ректор покачал головой и велел мне утром и вечером сверх обыкновенной: читать, другую молитву, говорил, что это влияние нечистой силы, отвлекающей от служения престолу к служению мирскому, от лечения духовного — к лечению плотскому. Потом напомнил четвертую, заповедь, дал прочесть сочинение Нила Сорского[24] о монашеском житии. Я все исполнил в точности, но не мог переломить влечения и медицине.

На вакации поехал я опять домой. Левка еще более одичал, он добровольно помогал пастуху пасти стадо и почти никогда не ходил домой. Меня, однако, он принял с прежней безграничной, нечеловеческой привязанностью; грустно мне было на него смотреть, особенно потому, что у него язык как-то сделался невнятнее, сбивчивее и взгляд еще более одичал. Через год мне приходилось окончить курс, временить было нечего, батюшка уже готовил мне место. Что было делать, утопающий за соломинку хватается; слыхал я от дворовых людей, что сын нашего помещика (они жили это лето в деревне) — добрый барин, ласковый, я и подумал, если бы он через Федора Григорьевича попросил обо мне моего отца, может, тот, видя такое высокое ходатайство, и согласился бы. Почему не сделать опыта? Надел я свой нанковый сюртук, тщательно вычистил сапоги, повязал голубой шейный платок и пошел в господский дом. На дороге попался Левка.

— Сенька, — кричал он мне, — в лес, Левка гнездо нашел, птички маленькие, едва пушок, матери нет, греть надо, кормить надо.

— Нельзя, брат, иду за делом, вон туда.

— Куда?

— В барский дом.

— У-у! — сказал Левка, поморщившись, — у-у! Весной, весной дядя Захар — его били, Левка смотрел, дядя Захар здоровый, сильный, а дурак стоит, его бьют — а он ничего — дядя Захар дурак, сильный, большой и стоит. Не ходи, прибьют.

— Не бось, дело есть.

Он долго смотрел мне вслед, потом свистнул своей собаке и побежал к лесу, но, едва я успел сделать двадцать шагов, Левка нагнал меня. «Левка идет туда — Сеньку бить будут — Левка камнем пустит», — при этом он мне показал булыжник величиною с индеичье яйцо. Но меры его были не нужны, люди отказали, говоря, что господа чай кушают; потом я раза три приходил, все недосуг молодому барину; после третьего раза я не пошел больше. И чем же это молодой барин так занят? Вечно ходит или с ружьем, или так просто, без всякого дела, по полям, особенно где крестьянские девки работают. Неужели он не мог оторваться на пять минут?

Сам бог показал выход, хотя, по правде, очень горестный. В селе Поречье, верст восемь от нас, был храмовый праздник; село Поречье казенное, торговое, богаче нашего, праздник у них справлялся всегда отлично. Тамошний священник (он же и благочинный) пригласил нас всех на праздник. Мы отправились накануне: отец Василий с попадьей, батюшка один, причетник и я, для того чтобы отслужить всенощную соборне. Праздник был великолепный, фабричные пели на крылосе. Во время литургии приехал сам капитан-исправник с супругой и двумя заседателями. Голова за месяц собирал по двадцати пяти копеек серебром с тягла начальству на закуску. Словом сказать, было весело, шумно; один я грустил; грустил я и потому, что намерения мои не удавались, и по непривычке к многолюдию; вина я тогда еще в рот не брал, в хороводах ходить не умел, а пуще всего мне досадно было, что все перемигивались, глядя на меня и на дочь пореченского священника. Я приглянулся ее отцу, и он предлагал, как меня похиротонисают, женить на дочери, а он-де место уступит и обзаведение, самому, мол, на отдых пора. А дочь-то его, несмотря на то что ей было не более восемнадцати или девятнадцати лет, была сильно

---

[24] *Нил Сорский* (1433–1508) — автор «Устава скитского монашеского жития», русский религиозный деятель.

поражена избытком плоти, так что скорее напоминала образ и подобие оладий, нежели господа бога.

Таким образом поскучав в Поречье до вечера, я вышел на берег реки; откуда ни возьмись — Левка тут, и он, бедняга, приходил на праздник, сам не зная зачем. Его никто не звал и не потчевал. Стоит лодочка, причаленная к берегу, и покачивается; давно я не катался, — смерть захотелось мне ехать домой по воде. На берегу несколько мужичков лежали в синих кафтанах, в новых поярковых шляпах с лентами; выпивши, они лихо пели песни во все молодецкое горло (по счастию, в селе Поречье не было слабонервной барыни). «Позвольте, мол, православные, лодочку взять прокатиться до Раздершнина», сказал я им. «С нашим удовольствием, мы-де вашего батюшку знаем. Митюх, Митюх, отвяжь-ка лодочку-то, извольте взять», — и Митюх, несколько покачиваясь и без нужды ступая в воду по колена, отвязал лодку, я принялся править, а Левка грести; поплыли мы по Оке-реке. Между тем смерклось, месяц взошел, с одной стороны было так светло, а о другой черные тени берегов, насупившись, бежали на лодку. Поднимавшаяся роса, словно дым огромного пожара, белела на лунном свете и двигалась по воде, будто нехотя отдираясь от нее.

Левка был доволен, мочил беспрестанно свою голову водой и встряхивал мокрые волосы, падавшие в глаза. «Сенька, хорошо?» — спрашивал он, и когда я отвечал ему; «Очень, очень хорошо», — он был в неописанном восторге. Левка умел мастерски гресть, он отдавался в каком-то опьянении ритму рассекаемых воли и вдруг поднимал оба весла, лодка тихо, тихо скользила по волнам, и тишина, заступавшая мерные удары, клонила к какому-то полусну, а издали слышались песни празднующих поречан, носимые ветром, то тише, то громче.

Мы приехали поздно ночью, Левка отправился с лодкой назад, а я домой. Только что я лег спать, слышу — подъезжает телега к нашему дому. Матушка она не ездила на праздник, ей что-то нездоровилось, — матушка послушала да говорит:

— Это не нашей телеги скрып — стучат, треба, мол, верно, какая-нибудь.

— Не вставайте, матушка, я схожу посмотреть, — да и вышел, отворяю калитку, пореченский голова стоит, немножко хмельный.

— Что, Макар Лукич?

— Да, что, — говорит, — дело-то неладно, вот что.

— Какое дело? — спросил я, сам дрожу всем телом, как в лихорадке.

— Вестимо, насчет отца диакона.

Я бросился к телеге: на ней лежал батюшка без движения.

— Что с ним такое?

— А бог его ведает, все был здоров, да вдруг что ни есть прилучилось.

Мы внесли батюшку в дом, лицо у него посинело, я тер его руки, вспрыскивал водой, мне казалось, что он хрипит, я уложил его на постель и побежал за пьяным портным; на этот раз он еще был довольно трезв, схватил ланцет, бинт и побежал со мною. Раза три просек руку, кровь не идет… я стоял ни живой ни мертвый; портной вынул табакерку, понюхал, потом начал грязным платком обтирать инструмент.

— Что? — спросил я каким-то не своим голосом.

— Не нашего ума дело-с, экскузе,[25] — отвечал он, — а извольте молитву читать.

Матушка упала без чувств, у меня сделался озноб, а ноги так и подламывались.

II

После смерти отца матушка не препятствовала, и я выхлопотал себе наконец увольнение из семинарии и вступил в Московскую медико-хирургическую академию студентом. Читая печатную

[25] Извините (от *фр.* excusez).

программу лекций, я увидел, что адъюнкт ветеринарного искусства, если останется время, будет читать студентам, оканчивающим курс, *общую психиатрию* , то есть науку о душевных болезнях. Я с нетерпением ждал конца года, и хотя мне еще не приходилось слушать психиатрии, явился на первую лекцию адъюнкта. Но я тогда так мало был образован по медицинской части, что почти ничего не понял, хотя слушал с таким вниманием, что до сих пор помню красноречивое вступление ветеринарного врача. «Психиатрия, — говорил он, — бесспорно, самая трудная часть врачебной науки, самая необъясненная, самая необъяснимая, но зато нравственное влияние ее самое благотворное. Ни метафизика, ни философия не могут так ясно доказать независимость души от тела, как психиатрия. Она учит, что все душевные болезни — расстройства телесные, она учит, следственно, что без тела, без сей скудельной оболочки, дух был бы вечно здрав» и проч. Я уже в семинарии знал Вольфиеву[26] философию, но совершенно ясно изложения адъюнкта не понимал, хотя и радовался, что самая медицина служит доказательством высоких метафизических соображений.

Когда я порядком изучил приуготовительные части, я стал мало-помалу делать собственные наблюдения над одержимыми душевными болезнями, тщательно записывая все виденное в особую книгу. Воскресные и праздничные дни проводил я почти всегда в доме умалишенных. Все наблюдения мои вели постоянно к мысли, поразившей меня при созерцании спавшею Левки, то есть что официальные, патентованные сумасшедшие, в сущности, и не глупее и не поврежденнее всех остальных, но только самобытнее, сосредоточеннее, независимее, оригинальнее, даже, можно сказать, гениальнее тех. Странные поступки безумных, раздражительную их злобу объяснял я себе тем, что все окружающее нарочно сердит их и ожесточает беспрерывным противуречием, жестким отрицанием их любимой идеи. Замечательно, что люди делают все это только в домах умалишенных; вне их существует между больными какое-то тайное соглашение, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признают пункты помешательства друг в друге. Все несчастие явно безумных — их гордая самобытность и упрямая неуступчивость, за которую повально поврежденные, со всею злобою слабых характеров, запирают их в клетки, поливают холодной водой и проч.

Главный доктор в заведении был добрейший человек в мире, но, без сомнения, более поврежденный, нежели половина больных его (он надевал, например, на себя один шейный и два петличных ордена для того, чтобы пройти по палатам безумных; он давал чувствовать фельдшерам, что ему приятно, когда они говорят «ваше превосходительство», а чином был статский советник, и разные другие шалости ясно доказывали поражение больших полушарий мозга); больные ненавидели его оттого, что он сам, стоя на одной почве с ними, вступал всегда в соревнование. «Я китайский император», — кричал ему один больной, привязанный к толстой веревке, которой по необходимости ограничили высочайшую власть его. «Ну когда же китайский император сидит на веревке?» — отвечал добрейший немец с пресерьезным видом, как будто он сам сомневался, не действительно ли китайский император перед ним. Больной выходил из себя, слыша возражение, скрежетал зубами, кричал, что это Вольтер и иезуиты посадили его на цепь, и долго не мог потом успокоиться. Я, совсем напротив, подходил к нему с видом величайшего подобострастия. «Лазурь неба, прозрачнейший брат солнца, — говорил я ему, — плодородие земли, позволь мне, презренному червю, грязи, отставшей от бессравненных подошв твоих, покапать холодной воды на светлое чело твое, да возрадуется океан, что вода имеет счастие освежать священную шкуру, покрывающую белую кость твоего черепа».

И больной улыбался и позволял с собою делать все, что я хотел.

Обращаю особенное внимание на то, что я для этого больного не делал ничего особенного, а поступал с ним так, как добрые люди поступают друг с другом всегда — на улице, в гостиной,

В заведение ездил один тупорожденный старичок, воображавший, что он гораздо лучше докторов и смотрителей знает, как надобно за больным ходить, и всякий раз приказывал такой вздор, что за него делалось стыдно; однако главный доктор с непокрытой головой слушал его до конца благоговейно и не говорил ему, что все это вздор, не дразнил его, а китайского императора

---

[26] *Вольфий Х.* (Вольф) — (1679–1754) — немецкий философ-идеалист, создавший учение о бессмертии человеческой души.

дразнил. Где же тут справедливость!

Продолжая мои наблюдения, я открыл, что между собой нередко сумасшедшие признают друг друга; эти уже ближе к обыкновенному гражданскому благоустройству. Так, в V палате жили восемь человек легко помешанных в большой дружбе. Один из них сошел с ума на том; что он сверх своей порции имеет призвание есть по полупорции у всех товарищей, основывая пресмешно свои права на том, что его отец умер от объедения, а дед опился. Он так уверил своих товарищей, что ни один из них не смел есть своей порции, не отдав ему лучшей части, не смел ее взять украдкой, боясь угрызений совести. Когда же изредка кто-либо из дерзких скептиков утаивал кусок, он гордо уличал преступного, и шесть остальных готовы были оттаскать злодея; он называл его вором, стяжателем; и глава этой общины до того добродушно верил в свое право, что, не имея возможности съедать все набранное, с величавой важностью награждал избранных их же едою, и награжденный точил слезы умиления, а остальные — слезы зависти.

Нельзя отказать этим безумным в высоком политическом смысле, так точно, как нельзя отказать в безумии людям, не только считающим себя здоровыми (самые бешеные собою совершенно довольны), но признаваемым за таких другими. Для убедительного доказательства присовокуплю отрывок из моего журнала, предпослав оному следующую краткую диагностику безумия.

Главные признаки расстройства умственных способностей состоят:

а) в неправильном, но и непроизвольном сознании окружающих предметов;

б) в болезненной упорности, стремящейся сохранить это сознание с явным даже вредом самому больному, и отсюда —

с) тупое и постоянное стремление к целям несущественным и упущение целей действительных.

Этого достаточно для того, чтобы убедиться в истине моих выводов.

Выписка из журнала

Субъект 29. Мещанка Матрена Бучкина. Сложение сангвиническое, наклонность к толщине, лет тридцати, замужем.

Субъект этот находится у меня в услужении в должности кухарки, а потому я изучал его довольно внимательно в главных психических и многих физиологических отправлениях. Alienatio mentale,[27] не подлежащее никакому сомнению; все умственные отправления поражены, несмотря на хорошие врожденные способности, что доказывается сохранившеюся ловкостию обсчитывать при покупках и утаивать половину провизии, Как женщина Матрена живет более сердцем, нежели умом; но все ее чувства так ниспровергнуты болезненным отклонением деятельности мозга от нормального отправления, что они не только не человеческие, но и не животные.

а) Чувство любви.

Не видать, чтобы у нее была особенная нежность к мужу, но отношения их в высшей степени замечательны и драгоценны как патологический факт. Муж ее — сапожник и живет в другом доме, он приходит к ней обыкновенно утром в воскресенье. Матрена покупает на последние деньги простого вина и печет пирог или блины. Часу в десятом муж ее напивается пьян и тотчас начинает ее продолжительно и больно бить; потом он впадает в летаргический сон до понедельника, а проснувшись, отправляется с страшной головной болью за свою работу, питаясь приятной надеждой через семь дней снова отпраздновать так семейно и кротко воскресный день.

Так как она приходила всякий раз с горькими жалобами ко мне на своего мужа, я советовал ей не покупать ему вина, основываясь на том, что оно имеет на него дурное влияние. Но больная весьма оскорблялась моим советом и возражала, что она не бесчестная какая-нибудь и не нищая,

---

[27] Умопомешательство *(лат.).*

чтобы своему законному мужу не поднести стакана вина — свят день до обеда, что, сверх того, она покупает вино на свои деньги, а не на мои, и что если муж ее и колотит, так все же он богом данный ей муж. Ответ этот, много раз повторяемый, очень замечателен. Можно добраться по нем до странных законов мышления мозга, пораженного болезнию; ни одного слова нет в ее ответе, которое бы шло к моему замечанию, а при болезни мозга ей казалось, что она вполне опровергала меня.

Но до какой степени и это поверхностно, я доказываю тем, что стоило мне, продолжая мои наблюдения, сказать ей: «А ты зачем с ним споришь, ты бы смолчала, ведь он твой муж и глава?» — тогда больная приходила в состояние, близкое мании, и с сердцем говорила: «Он злодей мне, а не муж, я ему не дура досталась молчать, когда он несет всякий вздор!» И тут она начинала бранить не только его, но и барыню свою, которая, истинно в материнских попечениях своих о подданных, сама приняла на себя труд избрать ей мужа; выбор пал на сапожника не случайно, а потому, что он крепко хмелем зашибал, так барыня думала, что он остепенится, женившись, — конечно, не ее вина, что она ошиблась, errare humanum est![28]

b) Отношение к детям.

Любопытно до высшей степени и имеет двойной интерес. Тут я имел случай видеть, как с самого дня рождения прививают безумие. Сначала чисто механически крепким пеленанием, причем сдавливают ossa parietalia[29] черепа, чтобы помешать мозговому развитию, — это с своей стороны уже очень действительно. Потом употребляются органические средства; они состоят преимущественно в чрезмерном развитии прожорливости и в дурном обращении. Когда организм ребенка не изловчился еще претворять всю дрянь, которая ему давалась, от грязной соски до жирных лепешек, дитя иногда страдало; мать лечила сама и в медицинских убеждениях своих далеко расходилась со всеми врачами, от Иппократа до Боергава и от Боергава до Гуфланда;[30] иногда она откачивала его так, как спасают утопленников (средство совершенно безвредное, если утопленник умер, и способное показать усердие присутствующих), ребенок впадал в морскую болезнь от качки, что его действительно облегчало, или мать начинала на известном основании Ганеманова[31] учения клин клином вышибать, кормить его селедкой, капустой; если же ребенок на выздоравливал, мать начинала его бить, толкать, дергать, наконец прибегала к последнему средству — давала ему или настойки, или макового молока и радовалась очевидной пользе от лекарства, когда ребенок впадал в тяжелое опьянение или в летаргический сон. В дополнение следует заметить, что Матрена, на свой манер, чрезвычайно любила ребенка. Любовь ее к детям была совершенно вроде любви к мужу: она покупала на скудные деньги свои какой-нибудь тафтицы на одеяльце и потом бесщадно била ребенка за то, что он ненарочно капал на него молоко. Мне очень жаль, что я скоро расстался с Матреной и не мог доучить этот интересный субъект; к тому же я впоследствии услышал, что ее ребенок не выдержал воспитания и умер.

c) и d) Отношения гражданские и общественные; отношения к церкви и государству…

Но я полагаю, сказанного совершенно достаточно, чтобы убедиться, что жизнь этого субъекта проходила в чаду безумия. А посему снова обращаюсь к прерванной нити моего

---

[28] Человеку свойственно ошибаться! *(лат.).*

[29] Теменные кости *(лат.).*

[30] *Боергав Г.* (Бургав) (1668–1738) — голландский врач. *Гуфланд К. Ф.* (Гуфеланд) (1762–1836) — немецкий профессор, медик, автор книги «Искусство продления человеческой жизни» (1797).

[31] *Ганеман С.* (1755–1843) — немецкий ученый, основатель гомеопатии.

жизнеописания, которое с тем вместе и есть описание развития моей теории.

По окончании курса меня отправили лекарем в один пехотный полк. Я не нахожу нужным в предварительной части говорить о наблюдениях, сделанных мною на сем специальном поприще безумия, я им посвятил особый отдел в большом сочинении моем.[32] Перехожу к более разнообразному поприщу. Через несколько лет по распоряжению высшего начальства, которому, пользуясь сим случаем, свидетельствую искреннейшую благодарность за начальственное внимание, получил я место по гражданскому ведомству; тут с большим досугом предался я сравнительной психиатрии. Для занятий и наблюдений я избрал на первый случай два заведения — дом умалишенных и канцелярию врачебной управы.

Добросовестно изучая субъекты в обоих заведениях, я был поражен сходством чиновников канцелярии с больными; разумеется, наружные различия тоже бросались в глааа, но врач должен идти далее, — по наружности долгое время кита считали рыбою. Самое важное различие между писарями и больными состояло в образе поступления в заведение: первые просились об определении, а вторые были определяемы высшим начальством вследствие публичного испытания в губернском правлении. Но однажды помещенные в канцелярию писаря тотчас подвергались психической эпидемии, весьма быстро, заражавшей все нормально человеческое и еще быстрее развивавшей искаженные потребности, желания, стремления; целые дни работали эти труженики с усердием, более нежели с усердием, с завистью; штаты тогда были еще невероятные, едва эти бедняки в будни досыта наедались и в праздники допьяна напивались, а ни один не хотел заняться каким-нибудь ремеслом, считая всякую честную работу не совместною с человеческим достоинством, дозволяющим только брать двугривенные за справки. Признаюсь, когда я вполне убедился, что чиновничество (я, разумеется, далее XIII класса восходить не смею) есть особое специфическое поражение мозга, мне опротивели все эти журнальные побасенки, наполненные насмешками над чиновниками. Смеяться над больными показывает жестокость сердца.

Влияние эпидемии до того сильно, что мне случалось наблюдать ее действие на организации более крепкие и здоровые, и тут-то я увидел всю силу ее. Какое-то беспокойное чувство, похожее на угрызение совести, овладевало вновь поступавшими здоровыми субъектами; им становилось заметно тягостно быть здоровыми, они так страдали тоскою по безумию, что излечались от умственных способностей разными спиртными напитками, и я заметил, что при надлежащем и постоянном употреблении их они действительно успевали себя поддерживать в искусственном состоянии безумия, которое мало-помалу становилось естественным.

От чиновников я перешел к прочим жителям города, и в скором времени не осталось ни малейшего сомнения, что все они поврежденные. Предоставляю тем, которые долго трудились над каким-нибудь открытием, оценить то чувство радости, которым исполнилось сердце мое, когда я убедился в этом драгоценном факте.

Городок наш вообще оригинален, это губернское правление, обросшее разными домами я жителями, собравшимися около присутственных мест; он тем отличается от других городов, что он возник, собственно, для удовольствия и пользы начальства. Начальство составило сущность, цвет, корень и плод города. Остальные жители — как купцы, мещане — больше находились для порядка, ибо нельзя же быть городу без купцов и мещан. Все получали смысл только в отношении к начальству (и к откупу, впрочем); мастеровые например, портные, сапожники — шили для чиновников фраки и сапоги, содержатель трахтира имел для них бильярд. Прочие не служащие в городе занимались исключительно произведением тех средств, на которые чиновника заказывали фраки, сапоги и увеселялись на бильярде.

В нашем городке считалось пять тысяч жителей; из них человек двести были повергнуты в томительнейшую скуку от отсутствия всякого занятия, а четыре тысячи семьсот человек повергнуты в томительную деятельность от отсутствия всякого отдыха. Те, которые денно и нощно работали, не вырабатывали ничего, а те, которые ничего не делали, беспрерывно вырабатывали, и очень много.

---

[32] См.: Сравнительной психиатрии часть II, глава IV. Марсомания, отдел I. Марсомания мирная и т. д. *(Примеч. А. И. Герцена.)*

Утвердив на прочных началах общую статистику помешательства, перейдем снова к частным случаям. В качестве врача я был часто призываем лечить тело там, где следовало лечить душу; невероятно, в каком чаду нелепостей, в каком резком безумии находились все мои пациенты обоих полов.

«Пожалуйте сейчас к Анне Федоровне, Анне Федоровне очень дурно». — «Сию минуту, еду». Анна Федоровна — лет тридцати женщина, любившая и любящая многих мужчин, за исключением своего мужа, богатого помещика, точно так же расположенного ко всем женщинам, кроме Анны Федоровны. У них от розовых цепей брачных осталась одна, которая обыкновенно бывает крепче прочих, — ревность, и ею они неутомимо преследовали друг друга десятый год. Приезжаю; Анна Федоровна лежит в постеле с вспухшими глазами, у нее жар, у нее боль в груди; все показывает, что было семейное Бородино, дело горячее и продолжительное. Люди ходят испуганные, мебель в беспорядке, вдребезги разбитая трубка (явным образом не случайно) лежит в углу и переломленный чубук — в другом.

— У вас, Анна Федоровна, нервы расстроены, я вам пропишу немножко лавровишневой воды, на свет не ставьте — она портится, так принимайте… сколько бишь вам лет? — капель по двадцать. — Вольная становится веселее и кусает губы. — Да знаете ли что, Анна Федоровна, вам бы надо ехать куда-нибудь, ну хоть в деревню; жизнь, которую вы ведете, вас расстроит окончательно.

— Мы едем в мае месяце с Никонор Ивановичем в деревню.

— А! Превосходно — так вы останьтесь здесь. Это будет еще лучше.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вам надобен покой безусловный, тишина; иначе я не отвечаю за то, что наконец из всего этого выйдут серьезные последствия.

— Я несчастнейшая женщина, Семен Иванович, у меня будет чахотка, я должна умереть. И все виноват этот изверг — ах, Семен Иванович, спасите меня.

— Извольте. Только мое лекарство будет не из аптеки, вот рецепт: «Возьми небольшой чистенький дом, в самом дальнем расстоянии от Никанор Ивановича, прибавь мебель, цветы и книги. Жить, как сказано, тихо, спокойно». Этот рецепт вам поможет.

— Легко вам говорить, вы не знаете, что такое брак.

— Не знаю — но догадываюсь; полюбовное насилие жить вместе — когда хочется жить врозь, и совершеннейшая роскошь — когда хочется и можно жить вместе; не так ли?

— О, вы такой вольнодум! Как я покину мужа!

— Анна Федоровна, вы меня простите, однако долгая практика в вашем доме позволяет мне идти до такой откровенности, я осмелюсь сделать вам вопрос…

— Что угодно, Семен Иванович, вы — друг дома, вы…

— Любите ли вы сколько-нибудь вашего мужа?

— Ах, нет, я готова это сказать перед всем светом, безумная тетушка моя сварганила этот несчастный брак.

— Ну, а он вас?

— Искры любви нет в нем. Теперь почти в открытой интриге с Полиной, вы знаете, — мне бог с ним совсем, да ведь денег что это ему стоит…

— Очень хорошо-с. Вы друг друга не любите, скучаете, вы оба богаты что вас держит вместе?

— Да помилуйте, Семен Иванович, за кого же вы меня считаете, моя репутация дороже жизни, что обо мне скажут?

— Это конечно. Но, боже мой, — половина первого! Что это, как время-то? Да-с, так по двадцати каплей лавровишневой воды, хоть три раза до ночи, а я заеду как-нибудь завтра взглянуть.

Я только в залу, а уж Никанор Иванович, небритый, с испорченным от спирту и гнева лицом, меня ждет.

— Семен Иванович, Семен Иванович, ко мне в кабинет.

— Чрезвычайно рад.

— Вы честный человек, я вас всю жизнь знал за честного человека, вы благородный человек — вы поймете, что такое честь. Вы меня по гроб обяжете, ежели скажете истину.

— Сделайте одолжение. Что вам угодно?

— Да как вы считаете положение жены?

— Оно не опасно; успокойтесь, это пройдет; я прописал капельки.

— Да черт с ней, не об этом дело, по мне хоть сегодня ногами вперед да и со двора. Это змея, а не женщина, лучшие лета жизни отняла у меня. Не об этом речь.

— Я вас не понимаю.

— Что это, ей-богу, с вами? Ну, то есть болезнь ее подозрительна или нет?

— Вы желаете знать насчет того, нет ли каких надежд на наследничка?

— Наследничка — я ей покажу наследничка! Что это за женщина! Знаете, для меня уж коли женщина в эту сторону, все кончено — нет, не могу! Законная жена, Семен Иванович, она мое имя носит, она мое имя пятнает.

— Я ничего не понимаю. А впрочем, знаете, Никанор Иванович, жили бы вы в разных домах, для обоих было бы спокойнее.

— Да-с — так ей и позволить, ха-ха-ха, выдумали ловко! Ха-ха-ха, как же — позволю! Нет, ведь я не француз какой-нибудь! Ведь я родился и вырос в благочестивой русской дворянской семье, нет-с, ведь я знаю вакон и приличие! О, если бы моя матушка была жива, да она из своих рук ее на стол бы положила. Я знаю ее проделки.

— Прощайте, почтеннейший Никанор Иванович, мне еще к вашей соседке надобно.

— Что у нее? — спросил врасплох взятый супруг и что-то сконфузился.

— Не знаю — присылала горничную, дочь что-то все нездорова, — девка не умела рассказать порядком.

— Ах, боже мой, — да как же это? Я на днях видел Полину Игнатьевну.

— Да-с, бывают быстрые болезни.

— Семен Иванович, я давно хотел — вы меня извините, ведь уж это так заведено: священник живет от алтаря, а чиновник от просителей, я так много доволен вами. Позвольте вам предложить эту золотую табакерку, примите ее в знак искренней дружбы, — только, Семен Иванович, я надеюсь, что, во всяком случае, — молчание ваше…

— Есть вещи, на которые доктор имеет уши — но рта не имеет.

Никанор Иванович обнял меня и своими мокрыми губами и потным лицом произвел довольно неприятное впечатление на щеке.

И кто-нибудь скажет, что это не поврежденные! Позвольте еще пример.

Рядом со мною живет богатый помещик, гордый своим имением, скряга. Он держит дом назаперти, никого не пускает к себе, редко сам выезжает, и что делает в городе, понять нельзя; не служит, процессов не имеет, деревня в пятидесяти верстах, а живет в городе. Были, правда, слухи, что один мужик, которого он наказал, как-то дурно посмотрел на него и сглазил; он так испугался его взгляда, что очень ласково отпустил мужика, а сам на другой день перебрался в город. Главное занятие его — стяжание и накапливание денег; но это делается за кулисами; я вам хочу показать его в торжественных минутах жизни. У него в гостинице и на почте закуплены слуги, чтобы извещать его, когда по городу проезжает какой-нибудь сановник, генерал внутренней стражи, генерал путей сообщения, ревизующий чиновник не ниже V класса.

Сосед мой, получивши весть, тотчас надевал дворянский мундир и отправлялся к его превосходительству; тот, разумеется, с дороги спал, соседа не пускали; он давал на водку целковый, синенькую, упорствовал, дожидался часы целые, — наконец об нем докладывали.

Генерал (ибо в эти минуты я чиновник V класса чувствовал себя не только генералом, но генерал-фельдмаршалом) принимал просителя, не скрывая ярости и не воздавая весу и меры словам и движениям. Проситель после долгих околичностей докладывал; что вся его просьба, от которой зависит его счастие, счастие его детей и жены, состоит в том, чтобы: его превосходительство изволило откушать, у него завтра или отужинать сегодня; он так трогательно просил, что ни один высокий сановник не мог противустоять и давал ему слово. Тут наставали поэтические минуты его жизни. Он бросался в рыбные, ряды, покупал стерлядь ростом с известного тамбурмажора, и ее живую перевозили в подвижном озере к нему на двор, выгружалось старинное серебро, вынималось старое вино. Он бегал из комнаты в комнату, бранился с женою, делал отеческие исправления дворецкому, грозился на всю жизнь сделать уродом и несчастным повара (для ободрения), звал человек двадцать гостей, бегал с курильницей

по комнатам, встречал в сенях генерала, целовал его в шов, идущий под руку. Шампанское лилось у скряги за здравие высокого проезжего. И заметьте, все это из помешательства, все это бескорыстно. И что еще важнее для психиатрии, — что его безумие всякий раз полярно переносилось с обратными признаками на гостя. Гость верил, что он по гроб одолжает хозяина тем, что прекрасно обедал. Каковы диагностические знаки безумия!

Отовсюду текли доказательства очевидные, не подлежащие сомнению моей основной мысли.

Успокоившись насчет жителей нашего города, я пошел далее. Выписал себе знаменитейшие путешествия, древние и новые исторические творения и подписался на аутсбургскую «Всеобщую газету».

Слезы умиления не раз наполняли — глаза мои при чтении. Я не говорю уже об аугсбургской газете, на нее я с самого начала смотрел не как на суетный дневник всякой всячины, а как на всеобщий бюллетень разных богоугодных заведений для несчастных, страждущих душевными болезнями. Нет! Что бы историческое я ни начинал читать, везде, во все времена открывал я разные безумия, которые соединялись в одно всемирное хроническое сумасшествие. Тита Ливия я брал или Муратори, Тацита или Гиббона[33] — никакой разницы: все они, равно как и наш отечественный историк Карамзин, — все доказывают одно: что история, не что иное, как связный рассказ родового хронического безумия и его медленного излечения (этот рассказ даст по наведению полное право надеяться, что через тысячу лет двумя-тремя безумиями будет меньше). Истинно, не считаю нужным приводить примеры; их миллионы. Разверните какую хотите историю, везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые фантастические интересы; вглядитесь, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают, — и вы ясно убедитесь в печальной на первый взгляд истине — и истине, полной утешения на второй взгляд, что все это следствие расстройства умственных способностей. Куда ни взглянешь в древнем мире, везде безумие почти также очевидно, как в новом. Тут Курций бросается в яму для спасения города, там отец приносит дочь на жертву,[34] чтобы был попутный ветер, и нашел старого дурака, который прирезал бедную девушку, и этого бешеного не посадили на цепь, не свезли, в желтый дом, а признали за первосвященника. Здесь персидский царь[35] гоняет море сквозь строй, так же мало понимая нелепость поступка, как его враги афиняне, которые цикутой хотели лечить от разума и сознания.[36] А что это за белая горячка была, вследствие которой императоры гнали христианство! Разве трудно было рассудить, что эти средства палачества, тюрем, крови, истязаний ничего не могли сделать против сильных убеждений, а удовлетворяли только животной свирепости гонителей?

Как только христиан домучили, дотравили зверями, они сами принялись мучить и гнать друг друга с еще большим озлоблением, нежели их гнали. Сколько невинных немцев и французов погибло так, из вздору, и помешанные судьи их думали, что они исполняли свой долг, и спокойно спали в нескольких шагах от того места, где дожаривались еретики.

Кто не видит ясные признаки безумия в средних веках — тот вовсе незнаком с психиатрией.

---

[33] *Ливий Тит* (59 до н. э. — 17 н. э.); *Тацит Корнелий* (ок. 54–117) — древнеримские историки. *Муратори Л. А.* (1672–1750) — итальянский историк и философ. *Гиббон Э.* (1737–1794) — английский буржуазный историк, автор книг по истории Рима и Византии.

[34] *…отец приносит дочь в жертву…* — Чтобы выпросить у богов попутный ветер для похода на Трою, царь Микен Аганемнон принес в жертву свою дочь Ифигинею.

[35] *…персидский царь…* — Ксеркс I (V в. до н. э.), как рассказывает Геродот в своей «Истории», приказал высечь море, за то что во время шторма был разрушен построенный персами мост через Геллеспонт.

[36] *…цикутой хотели лечить от разума и сознания.* — Приговоренный за безбожие афинскими гражданами к смертной казни философ Сократ (ок. 470–399 до н. э.) вынужден был в соответствии с обычаем выпить чашу с соком ядовитого растения — цикуты.

В средних веках все безумно. Если и выходит что-нибудь путное, то совершенно противуположно желанию. Ни одного здорового понятия не осталось в средневековых головах, все перепуталось. Проповедовали любовь — и жили в ненависти, проповедовали мир — и лили реками кровь. К тому же целые сословия подвергались эпидемической дури каждое на свой лад; например, одного человека в латах считали сильнее тысячи человек, вооруженных дубьем, а рыцари сошли с ума на том, что они дикие звери, и сами себя содержали по селлюлярному порядку[37] новых тюрем в укрепленных сумасшедших домах по скалам, лесам и проч.

История доселе остается непонятною от ошибочной точки зрения. Историки, будучи большею частию не врачами, не знают, на что обращать внимание; они стремятся везде выставить после придуманную разумность и необходимость всех народов и событий; совсем напротив, надобно на историю взглянуть с точки зрения патологии, надобно взглянуть на исторические лица с точки зрения безумия, на события — с точки зрения нелепости и ненужности.

История — горячка, производимая благодетельной натурой, посредством которой человечество пытается отделываться от излишней животности; но как бы реакция ни была полезна, все же она — болезнь. Впрочем, в наш образованный век стыдно доказывать простую мысль, что история аутобиография сумасшедшего.

Интерес летописей и путешествий тот же самый, который мы находим в анатомико-патологическом кабинете. Кстати — о путешествиях. Они не менее истории принесли мне подтверждений, и тем приятнейших, что все описываемые в них безумия делались не за тысячу лет, а совершаются теперь, сейчас, в ту минуту, как я пишу, и будут совершаться в ту минуту, как вы, любезный читатель, займетесь чтением моего отрывка. Доказательства и здесь совершеннейшая роскошь; разверните Магеллана, разверните Дюмон д'Юрвиля и читайте первое, что раскроется, — будет хорошо: вам или индеец попадется какой-нибудь, который во славу Вишны[38] сидит двадцать лет с поднятой рукой и не утирает носу для приобретения бесконечной радости на том свете, или женщина, которая из учтивости и приличия бросается на костер, на котором жгут труп мужа. Восток — классическая страна безумия, но, впрочем, и в Европе очень удовлетворительные симптомы и в ирландском вопросе, и в вопросе о пауперизме,[39] и во многих других. Да, сверх того, в Европе остались несколько видоизмененными и все азиатские глупости, собственно переменились только названия.

Здесь я останавливаюсь. Я хотел передать публике на первый случай небольшой отрывок. Кто желает более знать по сей части, тот пусть купит курс психиатрии, когда он выйдет (о цене и условиях подписки своевременно через ведомости объявлено будет).

Объяснительное прибавление от автора

Я не могу положить пера, не сказав еще несколько объяснительных и, так сказать, предупредительных замечаний. Знаю я, что неблагонамеренность обвинит меня в желании блеснуть новизною, в гордости и пренебрежении к больным — за то, что я их не считаю здоровыми. Совесть моя чиста. Не гордость и пренебрежение, а любовь привела меня к моей теории, и когда я совершенно убедился в истинности ее, весь нравственный быт мой переменился; мне стало легко, упования и надежды расцвели, как в молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицания и осуждения заменились теплым чувством сострадания к больным, и вместо желания отвратительной мести за действия, явным образом сделанные под влиянием болезни, явилось кроткое снисхождение и сильное желание помочь больному. (Я даже

---

[37] *Селлюлярный порядок* — одиночный порядок.

[38] *Вишна* (Вишну) — одно из высших божеств индуисткой религии.

[39] *Пауперизм* — бедственное состояние трудящихся масс в странах капитала, в результате их эксплуатации и безработицы.

в доме умалишенных вывел наказания, не желая вступать в соревнование с безумными, ни побеждать их в нелепости.) Что же касается до предполагаемого иною обвинения в желании блеснуть новизною, то я обязан заметить, что в разных формах мысль медицинская, мною проведенная, являлась многим в голову. Аристотель называл Анаксагора единым трезвым в сонме пьяных.[40] Спиноза видел одно бессилие разума в человеке безнравственном, Бентам прямо сказал, что «всякий преступник прежде всего дурной счетчик»,[41] человек с здравым смыслом не может дурно считать. Бентам прав; он, однако, не понял, что если преступник делает арифметические ошибки слишком грубые, то все остальные — тоже дурные счетчики, но ошибаются в мелочах или с общего согласия. Люди окружены целой атмосферой, призрачной и одуряющей, всякий человек более или менее, как Матренина дочь (зри выше), с малых лет, при содействии родителей и семьи, приобщается мало-помалу к эпидемическому сумасшествию окружающей среды (немецкие врачи называют эту болезнь der bistorische Standpunkt[42]); вся жизнь наша, все действия так и рассчитаны по этой атмосфере в том роде, как нелепые формы ихтиосауров, мастодонтов были рассчитаны и сообразны первобытной атмосфере земного шара.

Местами воздух становится чище, болезни душевные укрощаются. Но нелегко переработывается в душе человеческой родовое безумие; большие усилия надобно употреблять для малейшего шага. Вспомните романтизм — эту духовную золотуху, одну из злотворнейших психических эпидемий, поддерживающую организм в беспрерывном и неестественном раздражении, поселяющую отвращение к всему действительному, практическому и истощающую страстями вымышленными.

Вспомните аристократизм, эту застарелую подагру нравственного мира, иудейскую проказу исключительной национальности и проч.

Предвижу еще один вопрос: что же ты, занимавшийся столько лет исторической психиатрией, — открыл ли какие-нибудь средства лечения? Что же плод твоих трудов?

Во-первых, истина, во-вторых, точка зрения, в-третьих, я далеко не все сказал, а намекнул, означил, слегка указал только.

Средств я нашел мало, но средства есть. При дальнейшем развитии органической химии, при благодетельной помощи натуры можно будет выделывать и поправлять вещество мозга.

Мы имеем уже драгоценные наблюдения касательно возможности химически улучшать и видоизменять духовную сторону, хотя она совершенно независима. Так, например, прилично употребленное лечение шампанским располагает человека к дружбе, к доблести, к чувствам радостным и объятиям разверстым. Действуя же бургонским точно таким же образом, то есть отправляя его через желудок в вены и оттуда в голову, выходит результат совсем иной: человек делается мрачен, несообщителен, более склонен к ревности, нежели к любви, к раскаянию, нежели к наслаждению, к плачу о грехах мира сего, нежели к снисхождению, — для меня тут ключ к психотерапии, и вот я десятый год, не щадя ни издержек, ни здоровья, занимаюсь постоянно изучением действия на умственные способности вышеозначенных медикаментов и разных других. Чего не сделает человек из пламенной любви к науке!

Москва, 10 февраля 1846

---

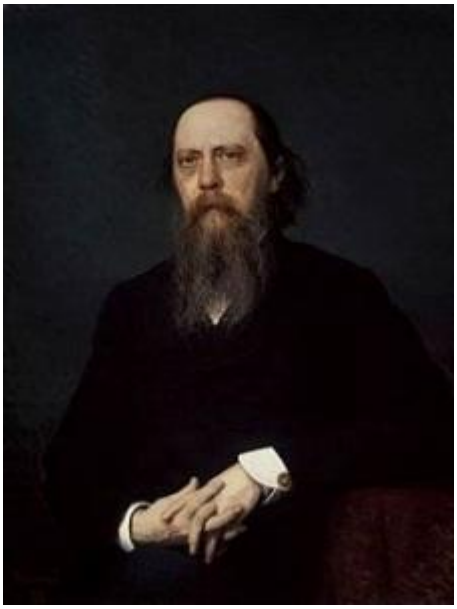
[40] *Аристотель называл Анаксагора единым трезвым в сонме пьяных* — в кн. I, гл. 3-й своей «Метафизики» — за материалистические воззрения философа.

[41] *…Бентам… сказал, что «…преступник… дурной счетчик»…* — в «Рассуждении о гражданском и уголовном законоположении». Перевод этого сочинения опубликован в России в 1805–1811 гг.

[42] Исторической точкой зрения *(нем.).*

Михаил Салтыков-Щедрин

Справочный материал



Михаил Салтыков-Щедрин появился на свет 27 января 1826 года в деревне Спас-Угол, что в Калязинском уезде Тверской губернии. Сейчас это Московская область, Талдомский район. Семья Михаила была весьма состоятельной. Отец, Евграф Васильевич Салтыков, служил коллежским советником. Мать, Ольга Михайловна Забелина, была дочерью богатых купцов.

Первоначальное образование Михаила было домашним: родители приставили к нему смышленого крепостного, художника Павла Соколова. После этого воспитанием будущего писателя занималась гувернантка, священник, студент семинарии и старшая сестра. Когда Салтыкову-Щедрину настало 10 лет, он поступает в Московский дворянский институт. Здесь он демонстрирует большие успехи в обучении (во многом благодаря домашнему образованию), и уже спустя два года направляется в Царскосельский лицей.

Период обучения в Царскосельском, а затем в Александровском лицее становится и периодом начала творчества Салтыкова-Щедрина. Примечательно, что стихи, которые он писал в то время, характеризовались учителями как «неодобрительные». И касалось это не стиля, а содержания, ведь уже тогда Михаил начинал проявлять свою склонность к высмеиванию недостатков окружающего его мира. Эти стихи в сочетании с далеко не идеальным поведением заставили Михаила окончить Александровский лицей по второму разряду. Хотя с его знаниями он вполне мог получить и первый разряд.

В 1844 году, вскоре после окончания лицея, Салтыков-Щедрин поступает на службу в канцелярию военного министерства. Ему пришлось проработать там два года, прежде сем получить штатное место. Казенная служба не мешает развиваться вольнодумным идеям Салтыкова-Щедрина, и реакция властей на его произведения не заставила себя долго ждать.

Одно из первых произведений писателя – повесть «Запутанное дело», которая высмеивала некоторые порядки тогдашней России. В 1848 году за это сочинение Салтыкова-Щедрина отправляют на службу в Вятку. Официально это был служебный перевод, но на самом деле – ссылка подальше от столицы.

Жизнь провинции давалась Михаилу Евграфовичу нелегко и долго, и вспоминать ее писатель потом не очень любил. Тем не менее, к нему очень хорошо относилось местное общество, он был желанным гостем в каждом доме. Репутация его как чиновника была безупречной: работал по справедливости и взяток не брал даже с тех, которые предлагали «подношения». Наблюдения за жизнью серой провинции дали богатый материал для будущих сочинений.

Только в 1855 году Салтыков-Щедрин получает разрешение выехать из Вятки. Распрощавшись со своими знакомыми, он с радостью отправляется в Санкт-Петербург. Год спустя Михаил Евграфович становится чиновником особых поручений при министре внутренних дел. Затем чиновника отправляют с инспекцией в Тверскую и Владимирскую губернии. В ходе этой поездки чиновник выясняет, что в провинции множество мелких и крупных недостатков, причем они обретают все более угрожающий характер.

В 1958 году следует новый виток карьеры Салтыкова-Щедрина. Его назначают рязанским вице-губернатором, а спустя два года переводят в Тверь на аналогичную должность. Служба отнимает много времени, но он активно занимается творчеством, начинает сотрудничать с несколькими отечественными журналами.

В этот период Салтыков-Щедрин все больше и больше увлекается литературой. Его произведения публикуются в журналах «Московский вестник», «Русский вестник», «Библиотека для чтения», «Современник».

В 1862 году Салтыков-Щедрин решает распрощаться с государственной службой. Он подает в отставку и перебирается в Петербург. В следующем году бывший чиновник становится штатным сотрудником «Современника». Этот период получился крайне плодотворным. Из-под пера писателя выходят обозрения, статьи, отзывы о литературных произведениях. Писал Салтыков-Щедрин действительно много, но не мог удовлетвориться тем мизерным вознаграждением, которое предоставлял за его труд журнал. Приходится вновь задуматься о том, чтобы вернуться на службу. Сотрудники редакции вспоминали, что Салтыков-Щедрин однажды устроил скандал, заявив о том, что труд литератора может привести только к голодной смерти.

Он действительно вновь становится чиновником в 1864 году и получает назначение председателем Пензенской казенной палаты. Затем Салтыков-Щедрин работает на аналогичных должностях в Туле и Рязани.

Тяга к литературе не покидает писателя, и в 1868 году он вновь подает в отставку. Начинается новый период творчества, во время которого были написаны одни из самых знаменитых произведений: «История одного город», «Пошехонская старина», «Дневник провинциала в Петербурге» и другие. «История одного города» — это вершина творчества писателя как сатирика.

Став в 1877 году главным редактором «Отечественных записок», Салтыков-Щедрин просто поражает сотрудников огромной работоспособностью. Ничто не могло заставить его хоть на некоторое время отказаться от работы. Создавалось впечатление, что он трудится всегда, не прерываясь даже на сон. В то же время Салтыков-Щедрин посещает Западную Европу, знакомится со многими известными современниками – Золя, Флобером и другими.

В 1880-х годах сатира писателя находится на вершине своей остроты. Самые злободневные произведения («Господа Головлевы», «Современная идиллия», «Пошехонские рассказы») написаны именно в этот период.

Очень болезненно писатель переживает закрытие журнала «Отечественные записки» в 1884 году. После этого его состояние здоровья ухудшается, физические страдания накладываются

на моральные потрясения. Публикации Салтыкова-Щедрина теперь печатаются в «Вестнике Европы».

В это время писатель чувствует себя все хуже и хуже, силы заметно оставляют его. Он часто болеет, но упорно трудится над своими произведениями.

В мае 1889 года Салтыков-Щедрин в очередной раз заболел простудой. Ослабленный организм не смог сопротивляться болезни. 10 мая 1889 года Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин умер. Он завещал похоронить себя рядом с И. С.Тургеневым, что и было исполнено 14 мая. Тело Салтыкова-Щедрина покоится на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Основные достижения Салтыкова-Щедрина

Салтыкову-Щедрину удалось прекрасно справляться с задачей обличения пороков общества своего времени. На протяжении двух десятков лет его произведения, как губка, впитывали в себя все недостатки жизни Российской Империи. По сути, эти сочинения являются историческими документами, ведь достоверность в некоторых из них практически полная.

Творческое наследие Салтыкова-Щедрина не теряет своей актуальности долгие годы после смерти писателя. Образы его сатиры часто использовались Владимиром Лениным, а благодаря активной пропаганде Тургенева произведения хорошо известны и западному читателю.

Проза Салтыкова-Щедрина – одни из самых ценных образцов мировой сатиры. Стиль критики, оформленной в сказке, применялся писателем очень активно и стал образцом для подражания для многих писателей в будущем. Сказка, которая направленная на критику социального несовершенства, использовалась как литературный прием и до Салтыкова-Щедрина, но именно он смог сделать этот прием классическим.

Основные даты биографии Салтыкова-Щедрина

15 января 1826 года – рождение в деревне Спас-Угол.

1836 – 1838 годы – обучение в Дворянском институте в Москве.

1838 год – перевод в Царскосельский лицей. За успехи в учебе переводится на обучение за государственный счет.

1841 год – начало стихотворных экспериментов. Публикация стихотворения «Лира».

1844 год – завершения учебы в лицее. Работа в канцелярии Военного ведомства.

1847 год – публикация первой повести, — «Противоречия».

1848 год – публикация повести «Запутанное дело». Арест и ссылка во Вятку.

1848 – 1855 годы – работа во Вятке.

1855 год – возвращение в Петербург. Работа в Министерстве внутренних дел. Командировка в Тверскую и Владимирскую губернии.

1856 год – женитьба на Елизавете Аполлоновне Болтиной, — дочери вице-губернатора Вятки. Начало публикации серии рассказов из сатирического цикла «Губернские очерки». Общественное признание.

1858 год – назначение на должность рязанского вице-губернатора.

1862 год – возвращение в Петербург. Начало работы с журналом «Современник».

1864 год – возвращение на казенную службу. Частые смены мест службы из-за смелого высмеивания недостатков чиновничества.

1868 год – отставка в чине действительного статского советника. Начало работы в штате «Отечественных записок».

1869-1870 годы – публикация сказок «Дикий помещик», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», знаменитого романа «История одного города».

1872 год – рождение сына Константина.

1873 год – рождение дочери Елизаветы.

1876 год – серьезное ухудшение здоровья.

1880 год – в печать поступает роман «Господа Головлевы».

1884 год – запрет журнала «Отечественные записки».

1889 год – публикация романа «Пошехонская старина» и резкое ухудшение здоровья писателя.

10 мая 1889 года – смерть Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

Интересные факты из жизни Салтыкова-Щедрина

Слово «мягкотелость» было придумано Салтыковым-Щедриным.

Роман «Пошехонская старина» считается отчасти биографическим.

После первых попыток создания стихотворений Салтыков-Щедрин навсегда отказался от поэзии.

Повесть «Противоречия» была названа Белинским «идиотской глупостью».

Противоречия

Повесть из повседневной жизни.

(В. А. Милютину)

Natura duce utendum est: harc ratio observat, hanc consulit idem est ergo beate vivere, et secundum Naturam.

Seneca. De vita beata, cap. 8.

[Надо пользоваться и руководствоваться законами Природы: ее созерцает и с нею советуется разум; следовательно, жить счастливо -- значит жить сообразно с Природой.

Сенека, О счастливой жизни, гл. 8 (лат.)]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Поистине, я нахожусь в решительном затруднении перед вами, читатель. Конечно, я много наслышался о вашей снисходительности и благосклонности к пишущей братии, но, вместе с тем, видя литературу, наводненною отвсюду повестями с так называемыми занимательными сюжетцами, я сильно боюсь за мою нехитрую повесть. Я сам согласен, что гораздо лучше было бы, если б и за завтраком -- шипучего, и за обедом -- шипучего, и за ужином -- тоже шипучего; но в том-то и сила, что такое радостное положение вещей является только в виде исключения, и то весьма и весьма редкого, а в действительности-то люди большею частию обходятся не только без шипучего, но и без обеда... Что же мне делать? как выйти из затруднительного положения? Решительно, остается одно только утешение -- надежда на добродушие и снисходительность вашу. Разумеется, я мог бы и вовсе не печатать этой повести, но... но -- вот видите ли -- это "но" еще более увеличивает мое затруднение.

А с другой стороны, трескучие эффекты, кажется, начинают надоедать; балаганные дивертисманы с великолепными спектаклями выходят из моды; публика чувствует потребность отдохнуть от этого шума, которым ее столько времени тешили скоморохи всякого рода, опомниться от неистовых воплей и кровавых зрелищ, которые притупили ее слух, испортили зрение. Все эти соображения, вместе взятые... Но тут перо мое снова отказывается писать, и я поневоле нахожусь в невозможности договорить начатую фразу.

Есть еще одно обстоятельство, которое заставляет меня представить читателю предлежащую повесть. Человек, в ней действующий, был одним из лучших моих друзей, к которому я немало был некогда привязан. Конечно, это была странная и даже несколько тяжелая, неуживчивая натура, но он сам так глубоко понимал свои недостатки, так много пострадал от них в своей жизни, что нельзя было не сочувствовать ему, не сожалеть об нем. Я давно уже потерял его из виду: где он и что с ним сталось -- что до того! Дело в том, что, имея в настоящую минуту в руках своих много бумаг, относящихся до его жизни, большую часть которых составляют его собственные письма, писанные к различным лицам, и изучая на свободе эту личность, я нашел в ней так много примечательного и достойного размышления, что решился представить их на суд публики. Покуда издаю только одну часть этих бумаг; от приема, который они заслужат у читателей, будет зависеть видеть в печати и еще несколько отрывков.

Во всяком случае, слагая с себя всякую ответственность за достоинство и содержание предлагаемых писем, смею уверить, что я в этом случае не более как добросовестный издатель их.

ОТ НАГИБИНА К г. NN

Село Ряплово

И дерзко бросить им в глаза железный стих,

Облитый горечью и злостью.

Вот в каком положении застало меня любезное письмо ваше! Оно, правда, если хладнокровно рассудить, нынче железным стихом никому не угрозишь -- не то, что в бывалое время; да уж так, более для метафоры, от безделья с языка сорвалось, да и память незабвенного поэта почтить чем-нибудь надо.

Но письмо ваше -- эта юная, благоухающая элегия неопытного сердца -- разогнало мизантропическое настроение духа моего, оно напомнило мне лучшие годы моей молодости, те годы, когда сердце человека, полное трепетных предчувствий, полное неясного и несознанного еще будущего, ко всему стремится, все приемлет и жадно ищет предмета, к которому могло бы оно привязаться, с которым могло бы составить одно нераздельное и неслитное целое (в юности бессмыслица позволительна и даже в некоторой степени нужна). Это, коли хотите, довольно неестественное состояние, но тем не менее, полное прелести и обаяния. Неестественно оно, потому что пожирающая нас жажда привязанности не имеет предметом чего-либо действительного, напротив, мы с каким-то презрением отворачиваемся от той среды, в которой живем, и создаем себе особый мечтательный мир, который населяем призраками своего воображения, в котором находим удовлетворение всем лучшим, задушевным желаниям нашим, одним словом, такой мир, где мы волшебники, где по манию нашему являются уставленные яствами столы, являются чудные, светлоокие женщины с распростертыми объятиями, с жгучими поцелуями и неиссякаемою негою в глазах... Вот-с какие удивительные дела наяву нам снятся! Мудрено ли же, что после таких вкусных умственных обедов и не менее вкусных объятий, обед от кухмистера уж и не нравится, а в объятиях какой-нибудь Дуняши (весьма, впрочем, достойной девицы) покажется и тесно и душно. Душа ищет простора и света, а ей дают комнатку в три аршина и окнами на помойную яму, душа хочет сгореть от томления и тоски наслаждения, а ей предлагают весьма умеренную теплоту, градусов в двадцать по Реомюру. Где же тут сгореть, где тут разгуляться? Везде тесно, везде холодно! Конечно, ни гореть, ни гулять не следует, а следует жить и учиться, но, повторяю, все это весьма извинительно в молодости, все объясняется и воспитанием, более наклонным к пустой мечтательности, нежели к трезвому взгляду на жизнь, и кругом занятий наших, которые ограничиваются только спекулятивными науками, так что человек, вместо того чтоб изучать науку с начала, изучает ее с конца, а потом и жалуется, что ничего понять не может в этом вавилонском столпотворении.

Такое воспитание совершенно губит нас, истощенных беспрестанным умственным развратом, человек уже теряет смелость взглянуть в глаза действительности, не имеет довольно энергии, чтоб обнажить сокровенные пружины и объяснить себе кажущиеся противоречия ее. Спекулятивные науки напыщают ум человека, делают его скептиком, так что после он уж и хвалится своим скептицизмом, и говорит, что в нем-то весь шик, последнее слово философии. Вот к каким печальным результатам приводит эта милая юношеская наивность, это простодушное стремление любви к чему и как попало, лишь бы любить, а там -- хоть пропади и разрушься весь мир.

Но что понятно и извинительно в молодости, то не всегда прилично человеку, хоть несколько вышедшему из пеленок привычки.

Через шесть лет по выходе из школы оставаться все тем же студентом, все тем же пламенным поклонником икса, говорить только о человечестве и забывать о человеке -- глупо, не только

глупо, но и подло. Нет! пора пройти периоду животненного развития, пора объяснить себе, что старый жилет все-таки старый жилет -- ни более, ни менее, и если был он свидетелем какого-либо мгновения нашей жизни, то совершенно невинно, да и мгновение-то уж давно прошло. Пора нам стать твердою ногою на земле, а не развращать себя праздными созданиями полупьяной фантазии; пора объяснить себе эту стоглавую гидру, которая зовется действительностью, посмотреть, точно ли так гнусна и неумыта она, как описывали нам ее учители наши, и если это так, то какие причины этой разрозненности частей целого, и нет ли в самой этой борьбе, в самой этой разрывчатости смысла глубокого и зачатка будущего... Неужели всю жизнь сочинять стихотворения, и не пора ли заговорить простою, здоровою прозою?

Вот и вы, например, любезный друг, настроя лиру свою на тон унылый, негодуете на бессмыслие обстоятельств, поглотивших в себе, как в бездонной пучине, все лучшие свойства человека его способность к самоотвержению, добродетели и любви -- и давших развитие одному только чувству эгоизма. Милый мой, вы и не замечаете, что именно вы потому и ропщете, потому и трудно и тяжко вам жить, что нет выхода вашему эгоизму. Хотеть, чтоб человек перестал быть эгоистом, значит хотеть, чтоб он перестал быть человеком, потому что эгоизм, наконец, есть определение человека, сущность его, в эгоизме весь человек, а вне его -- одно безразличие. Я знаю очень много господ, которые, сытно пообедав, громят от нечего делать действительность, меркантильное направление века, и разожженная мало-помалу всяким нравственным развратом фантазия их разыгрывается, и стоящие вокруг с разинутыми ртами лакеи с изумлением слушают, как господа рассуждают о правах всех и каждого на наслаждение жизнию и всем обещают равенство... в будущей жизни. Конечно, оно иногда приятно помечтать о том, что было бы, если б было вот так, а не вот этак, но ведь мечтать обо всем можно, даже и о том, что было бы, если б ничего не было!

Во всяком случае, подобные рассуждения более приятны, нежели полезны, потому что действительности-то все-таки переменить нельзя, как нельзя, чтоб дважды два было не четыре, а пять; потому что она сама не что иное, как результат, произведение, в котором и множитель, и множимое равно нам даны, как факт глухой, не терпящий рассуждений.

Человек не один на земле; вне его существует другой, отличный от него мир, который он должен, однако ж, понять, как необходимое дополнение себе, -- скажу более, без которого он сам себя понимать не может. И в этом-то усвоении человеком внешнего мира, в этом уяснении отношений своих к нему и состоит главная задача, весь смысл его жизни. Задача огромная, и согласитесь, что человек-младенец не мог решить ее, потому что не было у него ни опытности, ни знания вещей, с которыми обращался, а дорог к приобретению и того и другого -- бесчисленное множество; кто может поручиться, которая действительно истинна? Можно ручаться только за то, что, раз избрав себе путь, человек не изменит ему и логически верно разовьет все крайние пределы отправного пункта. Вот вам и тайна происхождения зла, вот и тайна разумности сущего.

Вы спросите, может быть, меня, что же будет, когда человек исполнит свою задачу, когда он определит свои отношения к внешнему миру, когда эта столько лет разрозненная антиномия -- человек и внешняя природа -- сольется наконец в один величественный синтез? Отвечаю: тогда прекращается прогресс человека, тогда наступает период его успокоения, и так как жизнь обусловливается движением и исключает идею инерции -- наступает период смерти...

Тяжело мне писать вам это, тяжело смущать вас; но ведь все равно, как ни возьмитесь, результат все один и тот же, материалист ли вы или идеалист, оправдываете ли действительность или не признаете ее разумности, -- если вы последовательны, то хоть против себя, а все же придете к

одному всепоглощающему концу -- смерти, ибо, во всяком случае, результатом всех этих систем лежит одна и та же венчающая их идея счастия, равносильная смерти.

Но я, может быть, и надоел уже вам, самовольно взяв на себя роль ментора, и потому, кончая здесь письмо свое, обещаюсь в следующий раз быть менее нравоучительным и более разнообразным. В настоящую минуту я еще так мало вгляделся в окружающих меня людей, что решительно ничего не имею сказать вам о житье-бытье своем. А впрочем, и вперед все-таки за разнообразие поручиться не могу, потому что в жизни-то его не обретается, потому что декорации-то ее всё одни и те же: сегодня день и завтра день; а в этом я, право, уж не виноват!

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

Надо вам сказать, что я состою теперь на кондициях у одного довольно богатого помещика, г. Крошина, близкого соседа моего отца. Он дает мне пятьсот рублей, удовольствие жить в деревне и хороший стол в продолжение трех месяцев; я же, с своей стороны, обязан научить в это время разному ученью двух его сыновей и сделать их способными к поступлению в гимназию. Обязанность, как видите, быть в некотором смысле волшебником, что немало льстит моему самолюбию. Конечно, Крошин воображает, что он делает этим мне и моему семейству благодеяние, что он, по свойственной всем такого рода людям неделикатности, и дал мне заметить... Впрочем, я не обращаю на это большого внимания.

Заметьте, однако, мой милый, что человек богатый, как бы мягок и цивилизован ни был, коль скоро принимает услуги бедного, непременно даст ему почувствовать всю тяжесть своего мнимого благодеяния. И в этом отношении чем голее, чем грубее выразится это напоминание, тем оно легче, тем сноснее для того, на кого падает. И образованный человек, уж по одному тому, что он имеет, а я не имею, все-таки не настолько отказался от общественных предрассудков, чтоб не видеть простого наемника в человеке, которого услугою он пользуется; но так как он понимает, что иметь и не иметь вовсе не от нас зависит, что это более игра случая, нежели результат разумных причин, то и старается всячески сгладить, сделать неприметным расстояние, которое разделяет имущего от неимущего. Но уверяю вас, этот невинный эклектизм гораздо невыносимее для человека мыслящего, нежели всякие медвежьи выходки степного невежды, и мне всегда становится неловко, когда я вижу, как стережет себя, как взвешивает человек каждое свое слово, чтоб не оскорбило оно вас: и не понимает он, добродетельный, но глупый, что это-то самое и обличает в нем молчаливое признание своего превосходства над наемником.

Прошу вас, однако же, извинить меня за мои отступления: это уж такая болезнь -- ничему не доверяться, ничего не принимать, не анализировав наперед вещи в самых малейших ее оттенках. Итак, удовлетворив этой потребности, продолжаю свой рассказ. И, во-первых, опишу вам семейство Крошиных.

Каких, подумаешь, нет на свете людей! сколько предметов для изучения, сколько оригинальных, совершенно особенных типов остались никем не замеченными, никем не изъясненными! Действительно, в публичной жизни эти люди как будто бы стираются, подходят под общий уровень -- ничего яркого, ничего определенного! Все они, с немногими разве исключениями, как

будто вылились в одну формулу: добрый христианин, почтенный отец семейства, благонамеренный гражданин, друг человечества... и более ничего не скажете вы, как ни ломайте себе голову. И никогда не узнаете человека, покуда судите об нем только по публичным его отношениям, пока не спуститесь в самую тесную сферу -- на задний двор его жизни, где тянется она, бледная и вялая, час за часом, как та сказка о черной и бурой корове, которою надоедали нам в детстве наши мамки. Там-то, среди этого сора и пыли, называемого хозяйством, полный разгул его скопидомскому эгоизму; там целые дни, как крот, неутомимо роется и копышится он, весь в сале и грязи, сам не отдавая себе полного отчета -- зачем и почему. И куда девались это благоприличие, эта благонамеренность, эта приятная улыбка, благосклонный взгляд? Исчезло все, как по волшебному манию!.. Осталась какая-то слякоть.

И если вы человек с эстетическим чувством, с высшими взглядами на жизнь, если в природе вы хотите изучать только изящную ее сторону -- и не подходите близко к этим грязным существам, они слишком оскорбят нежные органы ваши. Если же, напротив, вы хотите знать жизнь во всех ее явлениях; если жизнь, как бы уродливо она ни выразилась, сама по себе есть уже отрада и утешение, если, говорю я, вы сознаёте, что солнце, блистающее в высоте, равно озаряет дворцы и помойные ямы, богатство и нищету, добродетель и порок, -- в таком случае вы последуете за мною и с любовью будете изучать мелкую, кропотливую жизнь этих выродившихся людей, и -- кто знает? -- может быть, из этого изучения что-нибудь да и выйдет!

И что за странные и, по-видимому, беспричинные противоречия представят вам эти будничные характеры! В них как-то спокойно стоят себе рядком вещи самые противоположные, понятия, друг друга уничтожающие с одной стороны, самый холодный, расчетливый эгоизм, с другой -- покорность самая униженная, доходящая до совершенного отрицания всякого человеческого достоинства; с одной стороны, жестокость возмущающая, высочайшее равнодушие, с другой -- великодушие, любовь! Умное и глупое, высокое и смешное -- и все это вместе, все рядом и всё во имя одного и того же начала добра.

Представьте себе, например, хоть такого человека, как Крошин. Иногда на него нападают минуты, по которым не знающий его мог бы заключить, что он человек с сильною, по-своему, волею, которая заставляет преклоняться перед своим неразумием все, встречающееся ей на пути. Совсем нет! это на него, что называется, такой стих нашел, а на деле-то он почтенный отец семейства, и так далее до бесконечности, совершенно под башмаком у своей жены, ходящий каждое воскресенье в церковь, подтягивающий басом дьячку, подающий отцу иерею кадило, и больше ничего... Если взглянуть на его внутреннюю жизнь -- тоже ничего самостоятельного: все одно да одно, встает он рано, бог знает для каких причин, потому что в присутствии его решительно никто не нуждается; потом пьет чай, потом идет в поле, более для проформы, посмотреть на работы, и тут непременно выругает мужика-лентяя, хотя бы и не было никакой причины ругаться, потом обедает, и за обедом непременно бранится, отдыхает, пьет чай и опять спит... Сегодня так, и завтра так; я вам говорю, что это добрый семьянин и прочая, совершенно не имеющий своей воли, делающий все бессознательно, по привычке, а не по природе; необходительный с своими подчиненными, по привычке покорный до самоуничтожения своей жене, которая не дает ему ни копейки денег.

Но и у этого человека есть свой форс, своя блажь, и сохрани бог, если кто-нибудь вздумает ему противоречить - в этом случае он забудет все, забудет обыкновенную свою кротость и покорность, сделается деспотом и прибьет жену. Блажь эта состоит именно в том, чтоб не прерывали привычных его отправлений, и если настал для него час ругаться -- он и ругается, и никакое дело

не отвлечет его; как у всех слабых, упрямство заменяет в нем силу воли, и им хочет он выразить, что он глава в доме. В самом деле, никто ему и не прекословит, никто и не обращает на него внимания, потому что все знают, что пройдет час -- и сердце пройдет, и будет он в следующий час опять добродетелен. И потому будь самый честный человек и осмелься ему противоречить -- сделаешься злейшим врагом и супостатом его, а лакей, пьяница и мошенник, слывет в его мнении за образцового именно потому, что поддакивает ему. Около него образовалась даже какая-то особая шайка лентяев, которых сама Марья Ивановна, со всею своею гигантскою властью, не может уничтожить, которых минуют всякие рекрутства и домашние расправы, врасплох застающие виноватого лакея. Детей своих Игнатий Кузьмич любит тоже по привычке, то есть сует им беспрестанно в рот руку для напечатления на ней поцелуя; но тем и ограничивается его участие в них. Он часто говорит об них, о том, как бы устроить их, но желания его самые глупые, самые уродливые.

Мне рассказывал один из соседей, что когда умерла его старшая замужняя дочь, он стал перед ее гробом, по-видимому, весьма опечаленный такою потерею, но горесть его выразилась самым комическим образом: "Уж за что же, -- говорил он, -- вы нас оставили? Уж за что ж вы рассердились на нас? Маленькие вы были -- мы вас воспитали, мадаму для вас мы наняли, платья вам покупали! подросли вы -- замуж мы вас выдали, приданое вам дали! ездили вы к нам -- лошадей ваших овсом кормили! уж за что вы нас оставили, за что ж рассердились на нас?" Но когда ее похоронили и все гости разъехались, он был уже равнодушен и только спрашивал у своих фаворитов. "Что, брат Степ, -- или, -- что, брат Левка, а ведь схоронили-то мы ее, кажется, как следует... а? кажется, как следует? " -- и более ничего, как будто и не было у него дочери, как будто он и не плакал еще за полчаса перед этим.

С первою своею женою Крошин обращался жестоко, потому что она была женщина слабого здоровья, обиды и ругательства мужа не разбивались об нее, как об каменную стену, а оскорбляли глубоко, вызывали на глазах ее слезы, а ему того-то и надобно было, и не было меры его буйству, так что и при жизни веяло от нее как-то могилою, как будто бы умер уж давно человек, да похоронить его забывают. С Марьей Ивановной уж другое... то есть не то чтоб он не был груб по-прежнему, да на него не обращают внимания, оставляют ему для потехи его бессильную брань, зато уж во всем прочем располагают им как куклою, возят куда хотят, и не знает он, что делается у него в доме и в каком положении хозяйство. Коли хотите, он никогда не целует у Марьи Ивановны руки, а сам заставляет ее целовать свою руку при всяком удобном случае, поносит ее часто при всех, не жалеет никаких обидных намеков, отрекается от своих детей, но тут же, впрочем, не более как через пять минут, обращается к ним с ласками, просит прощения и со слезами на глазах бормочет им всякий вздор.

Иногда на Игнатия Кузьмича вдруг нападают минуты скептицизма -- он говорит, что читал Эккартсгаузена и уж знает, как создан мир, и начинает выводить силлогизмы не совсем верные. Например, на днях сидели мы за ужином, Крошин был в апогее скептицизма. "Ох, уж эти мне ученые, -- говорил он, -- все они выдумали! а что и науки-то, и человек-то что -- тлен, былие, животное, червь, а не человек -- и в Писании сказано! Да ведь и собака тоже животное! Ну, человек -- животное, собака -- животное, вот и выходит -- что человек, что собака -- все одно, все тлен, все земля и в землю обратится!"

И всего несноснее в этом, что по большей части с подобными рассуждениями он ко мне обращается!

Так вот каков глава семейства, в котором я теперь живу. Что касается до Марьи Ивановны... но признаюсь вам, вот уж почти три года я знаю ее, а до сих пор еще хорошенько не понял. В последнее время, находясь с нею в беспрестанных сношениях, я пристальнее вглядывался в этот странный характер -- и все-таки ничего не могу сказать об нем определительного. Несомненно только одно, что в ней есть все элементы заботливой матери, хорошей хозяйки, даже доброй жены, но все это покрыто какою-то плесенью, все это так далеко зарыто, что нужно долго всматриваться, чтоб из-за этой грубой женщины увидеть мать, из-за женщины-кулака -- бережливую хозяйку. Конечно, и этой невыгодной метаморфозе нужно искать источник в первоначальном воспитании, и действительно, по размышленье зрелом, метаморфоза оказывается весьма естественною и даже необходимою. Чтобы понять Марью Ивановну, нужно знать, что она с юных лет была брошена на произвол окружавших ее нянек, что отец ее был старый скряга и воспитывал ее на медные деньги. До самого замужества она была в подчинении у всех в доме, начиная от отца-скряги и кончая доверенным его, Степаном Лысым, ежедневно приносившим барину отчет по делам. Часто слыхала она от отца только одни, всегда неизменные слова: "Не дурить, Машка, не дурить, поганка! эй, побью, право, побью, крепко побью!" -- и больше ничего; разве иногда, в праздник, Иван Семенович подзывал ее к себе и, давая четвертак, приговаривал: "Да ты у меня смотри, береги копейку на черный день! а то, небойсь, пряников купишь, сластолюбица! на тряпье истратишь, чревоугодница! дьяволу послужишь..."-- и уходил обратно в комнату, охая и бормоча себе под нос: "О-о-ох, подлец нынче стал человек, мотыга -- человек!" -- хотя сам внутренне и радовался, что подлец и мотыга стал человек, потому что только на этих блестящих качествах и зиждилось все его благополучие.

Вышла Марья Ивановна замуж -- и от этого не стало ей легче. Конечно, теперь она вздохнула свободно; но этот вздох был не в ее пользу. Будь у нее другой муж -- из нее, может быть, и вышло бы что-нибудь; но вы поняли из предыдущего, что такое Игнатий Кузьмич, и Мария Ивановна точно так же поняла его. В детстве она была бита, теперь желает сама проявиться в личности других; в детстве она была в подчинении и у Ефремки, и у Степки, теперь она барыня и задаст себя знать и Ефремке, и Степке, и чадам их. И любо иногда смотреть, как она распоряжается! В детстве она жила среди лишений и, следовательно, имела все время, чтобы поразмыслить, какая сладость заключается в деньгах, что блажен, кто имеет, и презрен, кто не имеет их, поэтому теперь преобладающая в ней страсть -- страсть к деньгам, и нет того блага, которым бы она не пожертвовала в пользу их. Разумеется, сначала, покуда еще, что называется, молодо-зелено, она желала денег, как средства, но потом мало-помалу до того втянулась в эту бездонную пучину, называемую "благоприобретением", что деньги из средства сделались целью, и целью постоянною, не дающею ей ни днем, ни ночью покоя. Из этого вы видите, что, хотя начала она и от противного, а кончила на том же, на чем остановился и отец ее, с тою только разницею, что в ней эта страсть деятельная, беспокойная, тогда как в страсти Ивана Семеновича было что-то безжизненное, апатическое, отчего как-то страшно и холодно становилось живому человеку.

И действительно, в сфере "благоприобретения" все существо Марьи Ивановны как будто преображается, она стряхивает с себя природную лень, она не спит ночи, готова ездить в тряской телеге по сквернейшим дорогам, кланяется и поит повытчика с распухшею физиономией и подбитыми глазами, называет его благодетелем, призывает на помощь все обольщения: свою одинокую сиротскую долю, свое женское незнание, материнскую любовь, -- и когда умиленный повытчик, искривив рог и подмигивая глазом, говорит, запинаясь от частых возлияний: "А что, матушка, разве Игнатий-то Кузьмич того?.. дела-то плохи." -- "Ох, уж не говори мне, батюшка, -- отвечает Марья Ивановна, -- уж куда ему, старому! уж что за муж -- только видом-то муж! отдали меня молодую, неопытную. Хорошо, родной, что еще бог в чистоте поддерживает, а то -- сохрани

господи!.." И разнеженный повытчик хлопочет, и просьбы противников залеживаются, и дело затягивается, а Марья Ивановна торжествует.

И нет ничего оскорбительнее для живого человека, как видеть всю эту жизнь, вечно устремленную на медные гроши, из которых неимоверными усилиями составляются рубли, сотни и так далее. И придут наследники, и будут тоже составлять из копеек рубли, и еще наследники, и все тот же процесс благоприобретения.

А между тем такой тип женщины-кулака встречается весьма часто, и особенно в провинциях, где жизнь женщины исключительно сосредоточена в узеньких рамках фамильных ее отношений. В столице сфера эта обширнее; женщина развлекается между семейством и обществом, у нее есть уже обязанности внешние, законы приличия, которых она не может нарушить. В провинции же вокруг нее все тихо, все умерло. Надо же как-нибудь доконать, добить это несносно тянущееся время, потому что праздность душит, тяготит человека, каков бы он ни был -- вот она и погрязает по уши в своей семейной грязи, и нет меры обвешиваньям, обмериваньям, сплетням и тому подобным дрязгам!

И по совести, нельзя сказать, чтоб она на волос во всем этом была виновата: бросьте ее в одни обстоятельства -- будет один результат; окружите ее другою срединою, и вся физиономия ее внезапно изменяется -- те же струны, да звуки другие дают! Тут случайность, а не разумная причина, тут просто фатум, и она бессильна против него... Не дайте человеку есть, он, может быть, умрет с голоду, но скорее всего украдет и будет жить; если б не мириться нам кое-как с действительностью, не знаю, много ли осталось бы людей на свете! И не говорите мне, что голод не пример, что питание есть первое и необходимое условие жизни: пример, милый мой, пример, все потребности -- естественные или развитые в нас цивилизацией -- равно кричат об удовлетворении, как и голод, а иногда и пуще; иногда ложное понятие о чести решает в одну минуту участь человека: все зависит от степени развития человека, от положения его в обществе.

Третье лицо, и, конечно, самое интересное, есть дочь Крошина, Таня. Когда я был еще ребенком, отец мой часто езжал со мною к Крошиным, и нередко по целым месяцам гостил я в этом семействе. Тогда Игнатий Кузьмич был женат на первой жене, и у него было две дочери; одну из них, младшую, я в особенности любил и никогда почти не расставался с маленькой Таней. Но тому прошло уже лет двенадцать; вы можете себе представить, сколько воды утекло с тех пор; с тех пор я успел уже перебывать и в университете, и на государственной службе, и многое узнал, многое испытал в жизни, хотя еще большего не знаю. Впрочем, дело не в том, что было во времена давно минувшего детства, а в том, что теперь Тане семнадцать лет, теперь у нее мачеха, которая, как кажется, не очень об ней заботится; теперь она одинокая сирота, и, к довершению всего, весьма и весьма недурна собою.

Встречаются иногда в жизни странные натуры, натуры до крайности робкие, запуганные, которые как будто боятся света и всегда бегут подалее в тень; в них есть что-то как будто недосказанное, неполное, болезненное; какая-то неестественная, невызревшая развитость говорит в каждой фибре утомленного лица, так что вам и больно, и тяжело делается при виде этого хрупкого, нежного существа, вы бы желали поменее выражения -- менее лихорадочного блеска этим черным глазам и более веселости, более красок всему лицу.

Такова именно Таня. Я помню мать ее: она тоже была больная женщина и, кажется, даже умерла чахоткою; естественно, что здоровье матери имело влияние на ребенка, и Таня действительно всегда была, что называется, ненадежна, а вы знаете, что слабые дети быстрее

других развиваются, хотя всегда в ложную сторону. Притом же она была воспитана в каком-то пансионе для благородных девиц, а вам известно, что такое воспитание благородных девиц в иных пансионах. Все это немало способствовало одностороннему и довольно пагубному развитию Тани.

Из всех несчастий, которые падают на долю человека, нет глубже, нет страшнее горя семейного, домашнего. Оно не бросается в глаза, не выставляет напоказ своих ран и потому всегда остается незамеченным. Надо самому много испытать, чтоб понять, сколько есть подавляющего в этих, по-видимому, маленьких огорчениях, в этих незаметных преследованиях, которые не убивают вас сразу, но мало-помалу отравляют всякий миг вашего существования и, наконец, делают вас неспособным жить. Нельзя сказать, чтоб Таня много терпела от домашних; напротив, она ест сколько ей угодно, спит тоже по желанию, мачеха особенного зла ей не делает, а отец даже любит, хотя любовь эта выражается как-то неуклюже. Но вы понимаете, что такая жизнь -- скорее отрицание жизни, нежели самая жизнь; в ней только худа нет, но нет и добра, и весьма естественно, что она не может удовлетворить душу Тани, по преимуществу открытую впечатлениям нежным и эстетическим. Итак, все соединилось, чтоб возбудить во мне участие к этому прекрасному, заброшенному всеми цветку, который начинал уже блекнуть прежде, нежели успел раз вернуться. И я действительно как-то весьма охотно принялся за ее воспитание, хотя и начал его довольно неловко, как и все, впрочем, за что я ни примусь, потому что до сих пор еще никак не умею подделаться под обыкновенные житейские требования и стать в уровень с действительностью. На днях как-то шли мы вместе, и на дороге попался нам нищий. Бледный и прежде времени сгорбленный, протянул он изможденную руку свою, простонав обычное: "Христа ради"; она вынула из кошелька мелкую монету и сунула ему в руку.

-- О! да вы, как я вижу, на практике следуете правилу любить ближнего, как самого себя, -- сказал я, улыбнувшись.

-- А вы находите это смешным?

-- Помилуйте -- за кого вы меня принимаете?.. вы следуете влечению своего сердца. Уж не мечтаете ли вы иногда об организации благотворительности?

-- А что?

-- Ничего... приятное занятие.

-- Вы сегодня в дурном расположении духа, Андрей Павлыч.

-- Да так... изволите видеть, пришло на мысль, что если б вы подумали, вы, может быть, и не подали бы этому нищему... такие иногда, право, вещи в голову лезут.

-- Странно!

-- Странно? а между тем подумайте, так ничего не найдете странного.

-- Сделайте одолжение, уж подумайте вы за меня и вразумите меня, непонимающую.

-- Да вот вам не пришло, например, на мысль, что, помогая бедному, вы не делаете ему действительного добра. Положим, что ваше благодеяние на минуту и облегчает его участь и делает его счастливым... разумеется, относительно, а и не подумаете о том, что минута все-таки

не целая жизнь, что в следующее затем мгновение доля его уж гораздо горче и несноснее, нежели была прежде.

-- Это как?

-- Очень просто; улучшая его участь, вы даете случай развиться в нем новым потребностям, которых он до того не имел; к прежней-то своей жизни он привык и не жаловался... к чему не привыкают! -- теперь же другое дело -- испытав сладкого, он не хочет уж горького, не хочет возвратиться к прежней своей безотрадной жизни. А между тем вас-то уж и нет, чтоб вновь подать ему милостыню -- вы точно так же исчезли, как и встретились с ним на пути его, то есть совершенно случайно!

-- Однако ж, разве нет, кроме меня, сострадательных людей на свете?

-- Есть, разумеется, есть, кто же против этого спорит? даже очень много, да все же ведь это случайность, все же это не обеспечивает человека; может быть -- есть, может быть -- нет, -- ведь это шатко, ведь так нельзя жить! Да, притом, неужели вы не видите и другой стороны благотворительности? неужели не видите, что она приучает жить на чужой счет того, на кого обращена, заглушает в нем гордость, энергию, все, что делает человека человеком?

-- Положим, что вы справедливы; но вы забываете, что чувство сострадания является во мне против воли, ведь не могу же я истребить и выбросить его из сердца, как негодную и ненужную мне тряпку?

-- Ах, боже мой! да кто же сказал вам, что чувство, которое заставляет ваше сердце болезненно сжиматься при виде лохмотьев, худо прикрывающих раны нищеты, есть именно сострадание, а не какое-нибудь другое чувство? А может быть, эта мнимая любовь к ближнему -- не более, как преобладающее в вас чувство изящного, возмущающееся страшною картиною безобразия, тесно связанного с нищетою? Соболезнуя о страждущем и голодном, вы, может быть, о себе соболезнуете, потому что стоны и ропот неприятно оскорбляют ваши органы, привыкшие к впечатлениям эстетическим.

Но, казалось, в моих словах было слишком много непривычного для нее равнодушия и холодности, потому что на глазах ее навернулись слезы.

-- Странный вы, право, ребенок! -- сказал я, взяв ее за руки.

Но она ничего не отвечала мне и весь вечер была печальна и задумчива. Мне самому теперь кажется, что я слишком круто приступил к ней; но дело уже сделано, а раскаяние -- смертный грех! Тем не менее, из этого разговора вы видите, что отношения мои к дочери Крошина принимают несколько дружественный характер и что первый шаг уже сделан.

Итак, вот вам весь мой внутренний домашний быт. Надеюсь, что я был в этом письме разнообразен и многоразличен и что вы не в претензии на меня.

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА ТАНИ

Кажется, все те же вокруг меня люди, кажется, и любят, и ласкают меня, и не на что бы мне жаловаться, а все как будто чего-то недостает, как будто пусто, как будто вымерло все вокруг меня, и я одна в этой пустыне. Сама не могу себе представить это что-то, чего просит душа моя, а между тем чувствую, что неполно, холодно мне.

Мне страшно иногда за себя становится, что я так задумываюсь, что слезы без всякой причины навертываются на глазах и какая-то темная тоска сосет мое сердце. Посмотрю я на других -- или резвятся, или делом занимаются; одна я, как будто отверженная, дичусь и чуждаюсь людей, и нет мне дела до их веселья, и никакое занятие на мысль нейдет; сижу от всех в стороне, точно связанная, скованная.

И некому мне открыться, некому успокоить, ободрить меня... я одна! Какое кому дело, что ноет, плачет мое бедное сердце; кто возьмется растолковать мне мое горе? всякий живет для себя, у всякого свой интерес, у всякого свое дело, гораздо важнее пустых бредней мечтательной девчонки!

Да если б они и хотели, то не могли бы пособить мне: жизнь-то их такая странная, чувство-то в них так зачахло, так глубоко спряталось за ежедневными мелкими заботами, что как-то боится оно света божьего, и не обчистить его от налетевшей на него пыли!

Ты бы одна поняла, ты бы одна утешила меня, милая, добрая мама; на твоей груди могла бы я выплакать свое неотвязное горе. Была бы я и весела и счастлива, да нет тебя со мною... прошло мое время, прошло навсегда! Видишь ли ты, по крайней мере, слезы мои? молишься ли, помнишь ли обо мне в своем чудном далеке? А я бы так любила, так лелеяла тебя, добрая мама, и как полно, как тепло было бы у меня на сердце, когда бы ты была со мною! И теперь одно только воспоминание о тебе поддерживает мое бедное сердце, и теперь те лучшие минуты моей жизни, которые провожу я на могиле твоей. Стоят две березы над забытою могилкою и целый день шумят и шепчут о чем-то так грустно, так уныло. Рассказали ли они тебе мое горе, донесли ли они до тебя весточку о твоей дочери? Тяжело мне, мама, страшно сиротке твоей одной на свете!..

И наступают иногда для меня минуты тяжкого страдания, и я желаю смерти, и я прошу у бога, чтоб взял он меня скорее к себе. О, как бы счастлива, как рада бы я была, как легко и вольно понеслась бы душа моя навстречу к тебе, милая мама! Быть с тобою, дышать твоим дыханием, сбросить с себя, наконец, эти тяжелые цепи, которые приковывают меня к земле, и всей превратиться в одно вечное, неиссякаемое чувство восторга... и нет этой вечности конца, и нет пределов!.. Боже мой! боже мой! от одной этой мысли голова у меня кружится, неизъяснимая сладость сходит в мою грудь, и я дышу свободнее и вся преображаюсь, как будто невидимые крылья поднимают и несут меня далеко, далеко, туда, где вечно сияет небо в неизменной красоте своей, где вечно греет и животворит веселое солнышко! Но тем печальнее, тем обиднее мне, когда я пробуждаюсь от роскошного сна своего, и невыносимо несносны и малы кажутся мне все эти интересы, которые движут и шевелят вокруг меня пеструю массу людей...

Уж как же я рада, что наступает наконец лето! Тянулась, тянулась эта скучная зима, конца ей не было! Да зато и обрадовалась же я, когда проглянуло ко мне в комнату солнышко и пахнуло на меня свежим воздухом весны! Ведь вот оно хоть тусклое, хоть и серенькое теперь у нас небо, хоть и невесело и как будто бы нехотя смотрит солнце, а все как-то теплее, легче на сердце, и глядит-то все на тебя, как будто о празднике, и все чему-то рада, сама не знаешь чему, а рада... Зимой все мертво, все прячется и спешит скорее в душную комнату, поближе к огню, и способности все сжаты, и вся жизнь-то какая-то неестественная, насильственная жизнь... нет, не люблю я зимы! то

ли дело лето! А как вспомнишь бывалое время, то время, когда была еще у меня моя добрая мама -- боже мой! сколько минут невыразимого блаженства доставляло мне это чудное летнее время! Бывало, чуть забрезжится свет и сверкнет на востоке огненная полоса, скорее бежишь вон из постели -- и в сад, и все забудешь: и ворчанье старой няньки, и сладкий детский сон, и в голове так свежо и полно силы, и сердце так трепетно бьется, как будто вылететь из груди хочет! И что за чудное утро в саду! весь мир, кажется, притих и притаил дыхание, как будто объятый сладким очарованием; только где-где в кустах зашумит и защебечет ранняя малиновка, почуяв близкий восход солнца, и больше ни звука, ни шелеста, так что, кажется, слышишь самое незаметное дыхание ночного ветерка... И с полчаса бывало, стоишь на одном месте неподвижно, как будто боишься осквернить неуместным движением это глубокое торжественное спокойствие, покуда не пахнет в самые глаза свежий ветер, предвестник солнечного восхода. И встрепенешься вдруг, как будто от сна, и с изумлением глядишь вокруг себя, а на небе огненной полосы уж и следа нет, весь восток залит огнем, снопы нестерпимого блеска порываются там и сям через разорванную тучу... вон уж осветилась и темная верхушка соснового леса; вон и соловей загремел свою чудную песню, и цветы развернули и подняли кверху свои чашечки, и воздух наполнился упоительным ароматом. Э-ге! да не пора ли разбудить Вареньку! Вставай, Варенька, вставай! пора: уж солнышко на небе! А Варенька и не слышит, только губками лепечет во сне что-то невнятное, да глазки откроет на минуту, да и опять завернется поскорее в теплое одеяло. Оно и не мудрено! ведь она под утро только заснула, бедная, а то всю ночь глаз не смыкала: всё снились ей страшные люди, про которых рассказывала нам накануне старая няня!.. И выйдешь, бывало, на балкон, а солнышко уж высоко, вон и пастух выгнал стадо и ведет его к реке, и выпорхнула из высокого тростника испуганная стая диких уток, издалека заслышав топот бегущего стада; вон и крестьяне идут гурьбой с косами на плечах; вон и кузнечик затрещал в высокой траве; шум, говор, стук. Боже ты, боже мой! что это так весело, жизненно в сердце! чувствуешь, как закипело все вокруг тебя деятельностью, как все кишит, и движется, и суетится, куда ни обрати глаза свои! и сама как-то ощущаешь в себе необыкновенную деятельность, и бегаешь, и резвишься, и смеешься таким веселым и звонким хохотом, как будто все существо наводнило и переполнило радостью, как будто места ей нет в груди!..

И скорее, бывало, спешишь после чая протвердить заданный урок, такой длинный и скучный, и все кажется, что конца не будет этому классу! А выйдешь в сад -- погода чудесная, воздух знойный, небо такое синее-синее и так далеко раскинулось, и нигде ни облачка! И сладко задремлешь, и забудешься под убаюкивающее веянье густой душистой черемухи, в чаду восторженных нестройных грез; и видится то далекий, неведомый город, то звездное небо, то ангелы с радужными крылами, а сладостная дремота, как вор, так и подкрадывается к отяжелевшим векам, покуда резвый хохот подруг не выведет из этого сладкого полусна.

И опять шум, и опять смех, а вечером купаться, в горелки играть, кататься по озеру. Боже мой, боже мой! да где же, наконец, ты, веселое мое время? Куда же исчезла, куда скрылась ты, моя радость? Или никогда не видать мне тебя, или вечно быть мне покинутою, оставленною сиротою?.. Мама!.. Мама!..

Лицо ее было всегда задумчиво и до того бледно, что можно было скорее принять его за восковое, чем за лицо живого существа; никогда никто не видал на губах ее веселой улыбки или чего-нибудь подобного; но тогда я была еще так мала, что мне не казалось это странным. Помню, что каждый день сажала она меня и покойную сестру около себя и спрашивала у нас заданные уроки, и мы наперерыв старались отличиться друг перед другом, чтоб утешить, развеселить нашу добрую маму. Однажды утром, когда мы, по обыкновению, собрались в класс, к нам пришла

старая няня и сказала, чтоб мы не шумели, потому что мама нездорова, мы поплакали, но, впрочем, тут же забыли обо всем, побежали в сад и целый день бегали и резвились, как ни в чем не бывало. Но вечером нас позвали домой. Когда мы пришли в комнату мамы, я едва могла узнать ее -- так переменилась она в один день; худая и бледная, едва могла дышать она, едва могла сказать нам несколько слов, но вообще не жаловалась и не роптала, только изредка, когда страдания ее, по-видимому, возрастали, она едва внятно говорила: "Господи! умереть! и так рано, так рано!" Мы обе бросились к ней и жадно целовали ее бледные руки. "Я вас давно жду, дети мои, -- сказала она своим ласковым голосом, -- подите сюда, ко мне... поближе, вот так... ведь это, может быть, в последний раз." И когда мы рыданиями своими прервали слова ее, -- "Полно, полно, -- продолжала она, сама едва удерживаясь от слез, -- зачем огорчаться и плакать? Правда, мне жалко оставить вас, я вас так любила, и вы тоже любите меня, дети мои, мои милые дети? Не правда ли, ведь вы мои дети?.."

И она слабою рукою прижимала нас к груди своей; но в особенности меня целовала она горячо, называла своею милою дочерью, фавориткой и просила не забывать своей матери.

Около часа пробыли мы в ее комнате; вдруг она застонала, но так жалобно и странно, что все мы вздрогнули, и села на постели, как здоровая, и начала разговаривать с какими-то видениями, а потом опять легла на постель и стала звать нас.

Но видно было, что она уж угасала -- взор ее делался все более и более неподвижным, губы шептали какие-то отрывистые, бессвязные слова; дыхание становилось труднее и труднее.

Наконец уж и ничего не стало слышно! Нам велели стать на колени и молиться, а через час она лежала на столе, вся одетая в белом.

Помню, когда ее похоронили, я целый день ходила из угла в угол, ничего не чувствуя, ничего не понимая, и есть ничего не хотела, и только спрашивала у всех, долго ли будет почивать моя маменька, и когда мне отвечали, что маменька уж не придет никогда, я долго не хотела верить и каждый день просила няню пустить меня к моей доброй, милой маме.

Да! это был страшный день в моей жизни, и вечно останется он памятен мне!

Говорит он, что любви нет, что мы, как дети, только обманываем ею себя, что жизнь наша пуста -- вот мы для того, чтоб хоть чем-нибудь наполнить ее, и выдумали себе игрушку, и играем в любовь. И многое говорит он, и все в этом же тоне. Не знаю, отчего мне становится и грустно и холодно, когда я с ним, в словах его слышится какая-то неограниченная вера в самого себя, как будто он все уже разрешил, все определил себе, и не осталось в душе его ни тени сомнения. После разговора с ним чувствуешь себя как-то необыкновенно спокойно... да спокойствие-то это как будто могильное. По его, не должно ни увлекаться, ни любить, ни даже чувствовать: все яркое, все, что выходит из обыкновенной, будничной жизни, для него не существует и исчезает в какой-то страшной пустоте, которую он называет... "гармоническим равновесием".

Как будто человек из того только и бьется, из того только и хлопочет, чтобы прийти к смерти!

Нет, надобно много страдать, много быть обмануту жизнью, чтобы дойти до такого грустного результата! Я как-то заметила ему это мимоходом, но он отвечал, что я напрасно так думаю, что обманут он никем не бывал, а жизнью доволен, потому что убежден, что все в мире существует вследствие известных причин и, следовательно, все хорошо и необходимо. Доволен жизнью,

потому что убежден, что существующий порядок вещей необходим! Есть же люди, которые могут представлять подобные оправдания!

Что касается до меня, я бы лучше желала поболее юношеского избытка сил и поменее веры в свой рассудок. Еще когда он только что приехал к нам, сердце мое невольно сжалось; темное чувство страха овладело мною, когда я взглянула на это худощавое, никогда не смеющееся лицо, на этот бледный, высокий лоб, этот холодный взор, который, кажется, хочет проникнуть в самую душу. Помню, еще в детстве я как-то особенно была к нему привязана, и ребенком он никогда не хотел ничего делать, не обдумав, не разобрав наперед малейшего поступка своего; но теперь эта осторожность, эта обдуманность действий сделалась в нем какою-то особенною страстью, похожею на неизлечимую болезнь, и жалко смотреть на него, как взвешивает он каждый шаг свой, как сам неотступно стоит над собою, следит за малейшим своим движением... Бедный! он не понимает, что сам создает себе призраки, которые мешают ему свободно дышать и наслаждаться жизнью! А еще смеется, называет глупыми идеалистами тех, которые выдумали себе какую-то небывалую свободу волн, небывалую силу самоотвержения!..

Сегодня после обеда сидела я у окна в гостиной и вышивала по канве, братья были в этой же комнате и проходили свои уроки, Нагибин подошел ко мне.

-- Вы вышиваете? -- спросил он.

-- Кажется, да, -- отвечала я, -- а впрочем, не знаю, смотрите сами.

-- Да, вопрос был несколько глуп с моей стороны, извините... что-нибудь для папеньки? к дню ангела? сюрприз?

-- Ни то, ни другое, ни третье...

-- Ну, так для маменьки?

-- Вы знаете, что маменька моя умерла?

-- Ах, да, я и забыл. Ну, как же вы проводите время в деревне?.. наслаждаетесь природой, скучаете?..

Я не отвечала.

-- Ну вот, вы и рассердились! Ну, скажите же, -- верно, наслаждаетесь природой?..

-- И, помилуйте, Андрей Павлыч, что вам за охота такой вздор говорить? ведь я знаю, что вы хотите посмеяться надо мной.

-- Отчего же вздор? природа большое утешение для сердец нежных и любящих. Но вот, вы опять сердитесь! да что же я сказал такого?

-- То, что вы сами не понимаете, что говорите. И что за радость над всем и всегда смеяться?

-- Над всем и всегда! сохрани боже! что вы это, Татьяна Игнатьевна! Пожалуйста, не говорите этого при других, а то -- чего доброго -- как раз прозовут меня волтерьянцем и дебоширом.

-- Пожалуйста, переменимте разговор, Андрей Павлыч.

-- Над всем и всегда! -- повторил он медленно. -- Вы ошибаетесь, Татьяна Игнатьевна: "над весьма немногим и весьма редко", -- это будет гораздо справедливее.

-- Как редко? да не вы ли смеялись надо мною, что я до сих пор еще не могу забыть покойную маменьку?

-- Смеялся?.. Ну, не совсем чтоб смеялся...

-- Не совсем! то есть, вы говорили, что не понимаете этой странной привязанности к прошедшему, что она обнаруживает недостаток жизненности, отсутствие понимания действительности. А знаете ли что? ведь все это что-то очень похоже на присутствие глупости, не так ли? ведь вы это хотели сказать?

-- Я весьма сожалею, что мои слова перетолковываются вами в такую сторону... Послушайте, Татьяна Игнатьевна, вы не поняли меня; я хотел только сказать, что воспитание ваше дало ложное развитие вашим силам, сделало вас наклонною к мечтательности.

-- И, помилуйте, Андрей Павлыч, зачем же увертываться?

Он отошел от меня и начал ходить по комнате, но минут через пять снова подошел к моим пяльцам.

-- Вы на меня сердитесь? -- спросил он.

-- Да, сержусь, -- отвечала я, -- сержусь за то, что вы не можете отстать от дурной привычки взвешивать каждое свое движение.

-- Послушайте, да что ж мне делать?

-- Как что? отстать от этой привычки, принудить себя, предаться влечению своего сердца! мало ли что?..

-- Отстать от привычки, принудить себя, -- ведь как вы легко говорите, Татьяна Игнатьевна! Удивительно, право, взял да и бросил...

-- Попробуйте раз, пересильте себя: сначала будет трудно, а потом...

-- И потом тоже трудно, или, лучше сказать, вовсе невозможно. Отстать от привычки! да ведь привычка-то эта всосалась в мою кровь, сделалась моею плотью!

-- Вы сознаётесь, однако ж, что это дурная привычка?

Он несколько смутился этим вопросом, но я сделала вид, как будто бы ничего не замечаю.

-- Коли хотите -- да, -- отвечал он через минуту, -- в том отношении, что страсть присматриваться ко всему, над всем рассуждать, много открывает нам такого, что несколько мешает нашему спокойствию. А впрочем, что же и счастие, что и спокойствие, если оно не сознательно?

-- Разумеется, разумеется, Андрей Павлыч; итак, можно жить и вместе с тем наблюдать за тем, как живешь? так, что ли?..

-- Да разве я говорю вам, что живу? я именно только наблюдаю, что же мне делать, когда для меня только такая жизнь и возможна?..

-- Отчего же так?

-- Оттого, что иначе никак нельзя посмотреть ей прямо в глаза. А я хочу стоять твердою ногою на земле, не ласкаю себя пустыми мечтами и приучаюся действовать...

-- Да зачем же действовать, коли все и без того хорошо?

-- Конечно, все хорошо, все необходимо, но необходимо исторически; зачем же так привязываться к словам моим?..

-- Так, так, Андрей Павлыч; ну, а если б вас... кто-нибудь ударил... ведь это было бы необходимо... по крайней мере, исторически?..

-- Да; так что же?

-- Ну, и вы... снесли бы?

-- Послушайте, Татьяна Игнатьевна, это вовсе не пример.

-- Почему же? он несколько затруднителен, потому что нужно отвечать прямо... ведь вы бы не снесли?

-- Ну, нет; да что же из этого следует? это доказывает только, что я отдал бы долг предрассудку, что кровь во мне была взволнована и более ничего.

-- И более ничего?..

-- Да; потому что если б я хладнокровно разобрал дело, то увидел бы, что обида нанесена мне не намеренно, а или вследствие недостатка умственного в обидчике, или вследствие заблуждения, или, наконец, вследствие каких-нибудь действий с моей стороны, противных его интересам.

-- Умно, умно, Андрей Павлыч! вы чудесный адвокат... Однако ж, вы говорите, что все-таки не снесли бы обиды... Ну, что же? вы-то правы ли?..

-- Да; и я прав.

-- Да как же это? и вы правы, и он прав... кто же виноват-то, по-вашему?

-- Кто виноват? В этом-то и загадка вся, вот этого-то и невозможно определить теперь, потому что средств еще нет...

Со временем это откроется, и виноватый отыщется, а теперь... грустно, тяжело мне признаться, Татьяна Игнатьевна, а в настоящую минуту я думаю так: и черное право, и белое право... Оно, коли хотите, несколько странно, а верно. И как вы ни бейтесь, как ни думайте, а не выйдете из этого противоречия!

С этими словами он отошел от меня и пресерьезно начал заниматься уроками братьев, и целый вечер, как ни старалась я, никак не могла навести его на прерванный разговор наш.

ОТ НАГИБИНА К г. NN

Читая французские и всякие другие романы, я некогда удивлялся, что в основе их проведено всегда одно и то же чувство любви. Разбирая природу свою и восходя от себя к типу человека, я находил, что, кроме любви, в нем есть другие определения, столь же ему свойственные, столь же немолчно требующие удовлетворения. И человек казался мне именно тем гармоническим целым, где ничто не выдавалось ярко вперед, где все определения стирались в одном общем равновесии.

И я был, коли хотите, в известной степени прав, потому что брал человека, изолированного от всего, вне его сущего. Но я забывал, что человек сам по себе ничто, покуда личность его не выразится в известной средине, которая тоже не масса мертвая, но деятельный и живой организм, стремящийся пребыть в своем эгоизме. Очевидно, что при первой встрече этих двух эгоизмов должно быть неминуемое столкновение, борьба их. Как же разрешить это вечное противоречие жизни, которое мешает человеку дышать, которое гнетет и давит его существование? Как удовлетворить жажде гармонии, на которой единственно успокоивается утомленное его сердце, потому что в гармонии -- счастие человека, а счастие -- цель, к которой стремится весь его эгоизм? Средства к выходу есть, но они не даны нам; для человека один только факт не подлежит сомнению -- это стремление примирить противоречия жизни, выйти из неестественного положения, в которое он ими поставлен, во что бы ни стало, даже с пожертвованием своего собственного эгоизма. И тут-то, в эти безотрадные минуты, когда невидимое, но злое горе сосет и гложет его сердце, когда, задавленный и чуть дышащий под тяжестью уродливого стечения обстоятельств, он не обороняется уже от ударов судьбы, а молит только о пощаде, -- тут, в эти страшные мгновения, любовь является ему спасительным средством примирения и принимает то значение, которым она пользуется в обществе. В нормальном положении любовь есть не что иное, как взаимное соответствие двух организмов, данное в известный момент и в известной сфере общественных отношений, -- симпатия, не предполагающая ни с какой стороны ни жертв, ни страданий; в настоящее же время, когда она служит единственным средством выхода из беспрестанных противоречий, весьма естественно, что круг ее делается не столь уже ограниченным; естественно, что она является отречением частного человеческого эгоизма в пользу эгоизма собирательного, отвлеченного, одним словом, в пользу общества; следовательно, любовь, как главный общественный движитель, оправдывается самым направлением общества, и, следовательно, романисты совершенно правы, насвистывая на эту тему свои более или менее старые варьяции.

Все это я к тому говорю, что со мною случилось довольно странное происшествие, которое я должен рассказать вам.

Не думайте, однако ж, чтоб я был влюблен: если б это было, я не стал бы утруждать вас своим рассказом, потому что это старая, избитая сказка, которую вы прочтете в любом французском романе. Обстоятельство, которое хочу я вам передать, представляет довольно интересный психологический факт; тут дело идет о том, живой ли я человек или мертвый, способен или не способен, что, по-моему, совершенно одно и то же. Судите сами.

Не далее как третьего дня вечером сидели мы за чаем. Крошин был не в духе -- он поссорился с своим управляющим и целый вечер или молчал, или произносил такие слова, которые не

обозначены даже в печатных русских лексиконах. Марья Ивановна долго крепилась и не говорила ни слова; наконец терпение ее лопнуло.

-- Да помилуй, Игнатий Кузьмич, -- сказала она, -- что это ты, батюшка, только и знаешь, день-деньской слоняешься из угла в угол да ворчишь?

-- Ворчу, ворчу, -- бормотал Игнатий Козьмич, -- ну, хочу ворчать, за дело ворчу... ты что понимаешь?.. волос долог... знаешь... а туда же суется баба... я его вот как...

При этом Игнатий Кузьмич плюнул на ладонь левой руки, ударил по ней кулаком и показал на открытое окно.

-- Да помилуйте, что ж он такого сделал?..

-- Сделал, сделал... а за что я ему деньги-то плачу, за что я его, подлеца, хлебом-то кормлю? за что? Да какой же я после этого господин? разве я не властен у себя в доме? То-то, баба... волос долог, знаешь?.. а ведь тоже лезет... что ж он такого сделал?.. сделал!.. да вот ничего не сделал, а тунеядца и блудного в доме у себя не потерплю...

Марья Ивановна не возражала.

-- Ты знай свой чулок... ты баба, наседка, тебе вмешиваться в эти дела не след... Ты что? баба, дрянь... волос долог... знаешь? а еще суется... Вот он, -- продолжал Крошин, указывая на меня, -- может быть судьею в таком деле: он мужчина; уж это пол такой, пользу отечеству приносит... а ты? То-то, вам позволь... волос долог... знаешь?

Игнатий Кузьмич в волнении ходил по комнате.

-- Ну, скажи хоть ты, -- обратился он ко мне, -- ну, ты тоже мужчина... Ну, позволил ли бы ты своему холопу ослушиваться твоих приказаний?.. Ну, скажи!.. Ведь я его хлебом кормлю!.. ведь вот ты и вольный человек, а все-таки я тебя нанял, так ты и мой, говорю: учи арифметике -- арифметике и учи, грамматике -- так грамматике, а не какой-нибудь там математике... Покуда у меня -- ты мой, за то я плачу, я деньги плачу, а не щепки тебе; и когда грамматике, так грамматика и должна быть... А то вот ты, баба, наседка, суешься... ты знай свой чулок... волос-то долог, эй, долог, да ум-то... знаешь?..

В таком духе и тоне была речь Крошина в продолжение всего вечера, -- отрывистая, но многознаменательная и полная глубокой, ему свойственной философии.

Было довольно поздно, когда я пошел после чая в сад. Погода была чудесная; солнце давно уже село, какой-то мягкий полусвет разливался на окружающие предметы; тишина была невозмутимая; только изредка раздавался вдалеке крик болотного дергача, да немолчно жужжал и стрекотал в густой траве предвестник вёдра, ночной кузнечик. Я сел на дерновую скамейку и закурил сигару; не знаю, влияние ли тихого летнего вечера или какая другая причина, но никогда не бывало мне так хорошо, так спокойно, как в эту минуту: передо мной тянулся луг, а за ним синело озеро, все обрамленное густым сосновым лесом. Я еще с детства симпатизировал с нашею сельскою природою, хотя и нет ничего в ней такого, чем бы особенно можно было похвалиться. Это вечно серое, вечно дождливое небо, эти необозримые, бог весть куда тянущиеся болота, эти более желтые, нежели зеленые луга -- скорее наполняют душу тоскою, нежели изумляют и радуют ее. Но я люблю ее, эту однообразною природу русской земли, я люблю ее не для нее самой, а для человека, которого воспитала она на лоне своем и которого она объясняет...

В полузабытьи лежал я, когда кто-то назвал меня по имени, я поднял голову: передо мною стояла Таня. На ней было ее белое кисейное платьице, и полусвет придавал ее лицу какое-то особенно экзальтированное выражение. Я встал.

-- Нет, ничего: сидите, сидите, -- сказала она, -- я уйду... вы, кажется, об чем-то задумались, а я вам помешала... Сидите же, я сейчас уйду.

-- Зачем же? я вовсе не был занят... Пожалуйста, садитесь.

Но, несмотря на то, что я хотел казаться равнодушным, мне было неловко с нею; этот предательский полусвет, эта невозмутимая тишина приводили в сильное волнение кровь мою.

-- А мне бы нужно сказать вам несколько слов, Андрей Павлыч... можно?..

-- Отчего же? -- начал я, несколько запинаясь, -- я с удовольствием... только не холодно ли вам, Татьяна Игнатьевна, не лучше ли пойти в комнаты?

-- Ах, нет, не нужно, здесь так хорошо, а там... там душно, не то, что бывало прежде, помните? при покойной маменьке?

-- Послушайте, Татьяна Игнатьевна, зачем вспоминать об этом? зачем без нужды отравлять свою жизнь? не лучше ли принимать настоящее, как оно есть?..

-- Да... да, конечно... а впрочем, я совсем о другом хотела с вами говорить... Да, право, не знаю, как начать... папенька такой вспыльчивый, он сам не всегда хорошо понимает, что слова его могут обидеть человека... а сердце у него, право, доброе... а? не правда ли? скажите, вы не сердитесь на него?

-- И, полноте, Татьяна Игнатьевна! неужели вы можете думать, что я обижаюсь? Я уж настолько вырос, что могу смотреть на это равнодушными глазами.

-- Да, я знала, что у вас доброе сердце, что вы простите его... Так вы не сердитесь? Прощайте же, Андрей Павлыч!.. Ах, да! я еще что-то хотела сказать вам, да и растеряла все... дайте вспомнить... да! помните ли вы, как мы оба еще были детьми, помните ли вы, как мы резвились, бегали?.. помните?..

Я решительно был смущен таким вопросом; не зная, что отвечать, поднял я с земли засохшую ветку и начал чертить ею по песку.

-- Забыли?.. а?.. Дурно, Андрей Павлыч, грешно вам! А я так не забыла: вы меня называли тогда просто Таней... забыли?..

-- Это было так давно. Послушайте, Татьяна Игнатьевна, переменимте разговор.

-- Давно? да, давно, -- сказала она едва внятно, -- а я все-таки помню... Ах, посмотрите, какое чудное сегодня небо: синее, ни облачка. Я, кажется, мешаю вам, Андрей Павлыч... я уйду... прощайте, прощайте, Андрей Павлыч!

И между тем она все не уходила; по-прежнему сидела она подле меня, по-прежнему смотрела на меня своими большими черными глазами, и по-прежнему я молчал и чертил веткою по песку, не зная, как выйти из своего затруднительного положения.

-- А знаете ли что? -- сказала она после нескольких минут совершенного безмолвия, -- знаете ли?.. Странно... а мне кажется... знаете ли, что мне кажется?.. Я вижу, вы не признаетесь, а я уверена, что это так. Вы поняли меня?.. скажите же хоть что-нибудь!..

Она положила ко мне на плечо свою руку и взглянула мне прямо в глаза.

-- Ради бога, -- сказал я, задыхаясь от внутреннего волнения, -- умоляю вас, кончимте этот разговор... мне тяжело, мне невыносимо тяжело.

-- Отчего же вам тяжело? У меня, напротив, так светло, так полно на душе. Знаете ли, Андрей Павлыч, вы испортили себя, вы сами делаете себе жизнь несносною, вы слишком недоверчивы... Ну, признайтесь, ведь вы... да, я вижу, я знаю, что вы любите меня.

Я был совсем уничтожен; дыхание занималось в груди, голова горела. Не помня себя, я взял ее руку и приложил к голове своей.

-- Да, горит ваша голова, Андрей Павлыч, и у меня тоже... троньте...

И она прижала мою руку сперва к голове, потом к губам и поцеловала ее; и странное дело -- я находил весьма естественным это действие и не думал отнимать руку.

-- А знаете ли что? -- сказала она, -- мне пришла в голову странная мысль: помните ли вы, как мы, бывало, бегали... еще при маменьке? а? как вы думаете?..

И, не дожидаясь ответа, которого, впрочем, тогда и быть не могло, она как серна побежала вдоль по аллее, в глазах у меня потемнело, я ничего не видел, видел только белое платьице, мелькавшее передо мною: его одного я хотел, к нему одному стремилась мысль моя, все существо мое. Долго бежал я за нею, то настигая ее, то вновь отставая, и все не давалось, все ускользало от меня белое платьице; наконец, измученный, упал я почти без чувств на траву.

-- Ага! упал! упал! -- кричала мне Таня из-за кустов, смеясь и махая платком, -- маменька, маменька!.. Андрюша упал! да и куда ему: Андрюша -- ленивец, Андрюша бегать не умеет... не правда ли, маменька?.. да вставай же, Андрюша!

С этими словами она подошла и взяла меня за руку.

Не помню хорошенько, какое чувство ощущал я тогда -- было ли то страдание или радость -- не знаю, знаю только, что в эту минуту я не мыслил, не рассуждал, и неизвестно мне, чем бы все это кончилось, если б провидение или судьба, в образе дюжего деревенского лакея, звавшего нас ужинать, не прервала этой сцены.

Во всю следовавшую за сим ночь я думал об этом происшествии; минутное увлечение простыло, и по-прежнему обняла меня всего будничная, кропотливая жизнь моя, со всеми вопросами, со всеми придирками, -- одним словом, из божества, которым я был в продолжение одного мгновения, снова сделался я обыкновенным человеком. Грустно мне признаться вам, а плодом моих размышлений было сознание, что любовь для меня невозможна, что я даже вовсе не люблю, а только обманываю себя. Любовь жаждет света и не терпит сомнения; она есть взаимно безотчетное и естественное влечение двух организмов, без всякой задней мысли, без всяких предварительных рассуждений. Любить и наслаждаться своею любовью может только человек, вполне обладающий высшим благом в жизни -- беспечностью, где есть забота, где сомнение, там нет любви, там есть мгновенная, лихорадочная вспышка, которая иногда удачно пародирует

любовь, но недолго, потому что всегда одностороння и является требованием не цельного организма, а одной какой-либо стороны его. Понимая так любовь, судите сами, способен ли к ней человек, которого жизнь есть непрестанная забота, которого каждый шаг есть уже борьба за кусок насущною хлеба? Если б я любил действительно, я бы не старался так определить себе это чувство, я бы вполне безотчетно предался ему, потому что хотеть анализировать, уяснить себе какое-либо чувство -- значит, привносить в него такой элемент, который наиболее ему противен, значит не иметь чувства.

Такое раздвоение теории и практики, идеала и жизни наиболее является необходимым в эпохи переходные, когда человек, измученный и обманутый столькими веками иллюзий, с недоверчивостью смотрит на свои собственные чувства, ищет определить их последствия, их будущность, чтоб вновь не сделаться жертвою заблуждения и вновь не обречь себя на долгое страдание. Это, коли хотите, неестественное положение, ибо человек в этом случае живет только одною стороною своего организма, -- да в ненормальной средине нельзя и требовать цельного, гармонического проявления деятельности человека.

Но, обращаясь к себе самому, к своему индивидуальному положению в обществе, я еще более нахожу причин, отвергающих возможность для меня любви.

Уж одно то, что я беден, что я живу со дня на день, что я не могу сегодня сказать наверное, что будет со мною завтра, достаточно доказывает мне всю несбыточность этой любви. И не думайте, чтоб эти слова были с моей стороны школьническим желанием блеснуть пред вами парадоксом, -- вовсе нет! Я глубоко сознал истину этого положения, и скажите мне: "бедность", -- я невольно уж слышу за этим словом неизбежный его синоним -- "смерть". С тех пор как человек отделил для себя угол и сказал: "Это мое", -- он один уже пользуется своею собственностью и всею суммою наслаждений, которые из этого пользования проистекают, и горе тому, у кого нет ни своего поля, ни своей хижины; право существовать -- священное право, дарованное ему самою природою, -- перестает быть для него действительным, ибо он не имеет, чем осуществить, оправдать его, ибо труд его, способности, вся личность тогда только из бесплодного, чисто нравственного понятия делаются фактом осязательным, когда они выражены во внешности, когда они действуют... Я хотел бы трудиться, хотел бы работать, да не над чем мне трудиться, потому что нет у меня ничего своего, потому что я -- аномалия, я только отвлечение человека, или, лучше сказать, вовсе не человек, -- потому что для меня нет внешнего мира, в котором бы я мог выразиться и познать себя. Не правда ли, презабавное положение? Вы скажете, что все это, однако ж, не мешает мне ни любить, ни быть любимым. Мешает, милый мой, мешает, говорю я вам. И в этом я вовсе не обвиняю женщин это так естественно, так проистекает из самого свойства любви, что иначе и быть не может. В самом деле, любовь -- по преимуществу чувство эстетическое; оно жаждет света, жаждет свободы, оно требует, чтоб его поддерживали, подстрекали; иначе оно заглохнет, умрет при самом рождении. Эта жажда освободиться от всех внешних препятствий, утрудняющих или останавливающих свободное развитие страсти, есть свойство, столь же общее всякой другой потребности, как и любви; я и не спорю против этого и первый говорю, что полное удовлетворение какой бы то ни было страсти радикально невозможно при известных условиях жизни; но дело в том, что ни одна страсть не предполагает столько разнообразных и прихотливых уступок, сколько требует их любовь, и потому-то возможность любви, не болезненной и односторонней, а такой, в которой организм человека участвовал бы всеми сторонами своими, есть уже верный признак, что человек нашел наконец окончательною, высшую общественною норму, в которой все потребности его удовлетворены, в которой всякое стремление его не остается только отвлечением, а есть действительная плоть и кровь.

Теперь спрашиваю вас: по совести мое настоящее положение и наличность всех описанных выше условий -- не есть ли это два противоположные полюса, две параллельные линии, которые идут, но никогда не встречаются? Что скажу, что отвечу я женщине, которой судьбу прикую я к своей жалкой участи, когда пройдет первый миг увлечения, когда спросит она меня, что сделал я с ее молодостью, зачем я ее, полную сил и будущего, заживо погреб в могилу страданья, в могилу нищеты и сопряженного с ней унижения? Что отвечу я ей? А это непременно будет, потому что женщина, как бы экзальтирована и мечтательна ни была, создана не для одной же любви -- ей тоже нужен шум, блеск, ей нужно общество, без которого ступить нельзя, без которого душно и тяжко человеку. Вы можете мне заметить, что порядочная и истинно любящая женщина никогда не дозволит себе ни слезы, ни ропота... Боже мой! я допускаю даже, что она и виду не подаст, даже... даже не подумает... Да будто нужно чье-нибудь напоминанье в таком деле? будто у меня самого нет глаз, нет ушей, чтоб видеть, чтоб слышать все ужасы этого убийственного одиночества! Скажу более: чем покорнее судьбе является в этом случае любимая женщина, тем тяжеле будет камень на сердце вашем. Да! тяжело иногда достается жизнь человеку: он видит и не должен видеть, слышит и не должен слышать, везде и во всяком случае бесконечные варьяции на известную басню "Лисица и Виноград".

Все эти соображения, хотя гораздо короче и проще, передал я на другой день Тане, когда мы поутру встретились с нею в саду; сказать по правде, я был несколько взволнован, хотя и желал казаться совершенно равнодушным -- материя-то такая, изволите видеть, деликатная! Но наконец я превозмог себя, говорил с нею довольно долго, просил ее забыть вчерашнюю сцену и в заключение предлагал даже уехать назад в Москву, если мое присутствие может ее тревожить. Внимательно, не прерывая, выслушала она меня от слова до слова, но когда я посмотрел на нее, мне показалось, что она была бледнее обыкновенного, и на ресницах ее дрожали слезы. Я хотел взять ее за руку, но она робко выдернула руку и покачала головою.

-- Так вот до чего довела вас недоверчивость! -- сказала она едва внятным голосом, -- помните, я вчера вам говорила, что вы сами мешаете себе жить, что вы сами создаете себе страдания. Не стыдно ли вам?

Она не могла продолжать; слезы, доселе удерживаемые, ручьем хлынули из глаз ее; она быстро отвернулась от меня и пошла по аллее.

Не могу описать вам состояния, которое овладело мною в эту минуту: мне было и легко, что я сбыл наконец с рук эту тяжесть, и вместе с тем как-то стало пусто, как будто чего-то недоставало, как будто что-то забыл, как будто лучшая часть меня самого погибла, стерлась в этом признании. Она заперлась в своей комнате под предлогом головной боли; тем лучше -- по крайней мере, я не видал ее; боюсь только, чтоб она в самом деле не сделалась больна.

А между тем она была права, говоря, что я сам делаю себе пытку из жизни, подвергая анализу всякий мельчайший факт ее и никогда не доверяя первому движению своей природы. Я сам чувствую, что неестественно живу, сам понимаю, что творю себе препятствия, что не довольно забываю свое положение, что память уж чересчур верно напоминает мне все подробности моей участи. Все это я чувствую и понимаю, и между тем не могу ни на волос переменить себя. Рефлектёрство так уже сжилось со мною, сделалось до такой степени принадлежностью моего существа, что без него и жизнь мне невозможна. Я надеюсь, вы понимаете, что ведь не по охоте же создаю я себе тысячи призраков, что не по охоте же творю свое собственное несчастие: все это делается против меня, все это точно такой же акт моего организма, как питание, кровообращение и проч. А между тем я понимаю, в чем состоит истинная жизнь, понимаю, что всякая потребность

должна вытекать непосредственно из самой природы человека, которая не рассуждает, а сама в себе заключает уже непреложный закон.

И в этом отношении я действительно достоин великого сожаления, хотя и не прошу его. Я, как Спинозино божество, которое ничего не любит, не ненавидит, а только все себе объясняет, ношу в себе все элементы, все стихии жизни, только все это как-то играет страдательную роль, подобно тому, как если б кто, построив машину, забыл ее завести. Кому она нужна? какую пользу приносит этот мертвый капитал?

Видите ли же вы, что обо всем этом я уже рассуждал, и никто более меня не желал бы переменить это тягостное состояние? Что нужды в том, что я определил себя и знаю, что я такое, куда иду и на какой конец, когда я несчастлив? А впрочем, покоримся необходимости, да и кто знает: может быть, частное-то мое назначение в жизни в том и состоит, чтоб определить ее и приготовить возможность пользоваться ею... для других?

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

Все это так для меня ново, так меня поражает, что решительно я теряюсь, не знаю, что мне предпринять. После известного разговора меня несколько времени оставляли еще в покое, и я уже думал, что все это так и кончится. Действительно, она казалась совершенно покойною, по-прежнему говорила со мною, по-прежнему ходили мы вместе в саду -- и никогда ни слова о происшедшем между нами, как будто бы ничего и не было, как будто бы все умерло.

Признаюсь вам, меня даже печалило и досадовало несколько такое равнодушие; все-таки было мне жаль этой одной минуты, когда все мое существо как будто трепетало и жило новою жизнью, и мне досадно было, что так мало оставила она следов по себе. Коли хотите, такая жалоба с моей стороны и неестественна, и непоследовательна, и несправедлива; да что ж прикажете делать? видно, нельзя совсем перестать быть человеком, видно, нельзя всегда подводить под готовую мерку все свои движения. Я очень хорошо понимаю, что недостойно и неестественно привязываться к воспоминанию, что нужно жить только в настоящем, что человек чувствует потребность забыться в своем прошедшем только или вследствие отсутствия жизненности в самой натуре его, или вследствие бедности его настоящего; знаю я также, что в этом мгновенном опьянении моих чувств было более томления, нежели радости и света, что я сам желал выйти как можно скорее из этого неопределенного положения и, следовательно, должен был бы скорее радоваться, нежели досадовать на равнодушие Тани. Сознаю я все это, но в том-то и горечь моего положения, что я слаб и не могу победить себя.

Не спорю, что, если это равнодушие продлится, я вовсе перестану, может быть, думать об нем; но в жизни нашей столько случайностей, малейшее обстоятельство подает столько поводов к взрыву затаившейся и полуугасшей страсти, что невозможно предвидеть их всех, невозможно приготовить себя к ним.

Так точно теперь и со мной.

На днях как-то мы сидели вдвоем и читали зандовского "Компаньйона". Помните ли вы там сцену признания в любви Маркизы и Амори? помните ли вы обстановку этой сцены, описание ночи, местности и всех малейших подробностей признания? не правда ли, что в нашем взаимном положении не могло быть выбора романа более пагубного, что в этой сцене есть нечто в высшей степени опьяняющее, что чувствуешь, как любовь дошла тут до nec plus ultra [крайних пределов (лат.)] раздражения, что она давит, тяготит, что ей нужно, непременно нужно высказаться, выразиться наружу... И я видел, как жадно прислушивалась Таня к моему чтению, как поднималась и опускалась грудь ее, как все более и более приближалась она ко мне.

Я чувствовал и сознавал все это, -- а все-таки читал, тогда как мне следовало бежать. Знаете ли, я был тогда очень жалок, я действовал по какому-то безотчетному инстинкту, даже не понимал более, что читал, и когда она положила руку свою ко мне на плечо, когда почувствовал я на щеках своих жаркое дыхание ее, вся кровь, казалось, хлынула мне в голову, слова останавливались на губах; наконец и самая книга выпала из рук.

И тогда началась между нами одна из тех сцен, которые так легко и вместе так трудно описывать, потому что в них нет ни слов, ни движения; весь смысл их заключается именно в этом упорном безмолвии, когда как будто и язык, и все существо человека скованы -- под влиянием тяжелого очарования. Такое положение минутно, потому что тягостно, и человек сам, по невольному, бессознательному инстинкту, делает усилие, чтоб выйти из него, но тем неуловимее ощущения, которые овладевают душой в эту страшною минуту, тем труднее дать себе в них отчет. Когда я вышел из этого оцепенения, голова Тани лежала на плече моем, на губах ее играла едва заметная улыбка; но никогда, нигде не встречал я столько счастия, столько безмятежной и сладкой уверенности, сколько выражаюсь во всякой фибре этого прекрасного лица. Я был действительно увлечен, и когда она спросила, отчего я перестал читать, все, что накипело в груди моей, все, что было исподволь подготовлено во мне этою сценою, вылилось наружу.

-- Зачем читать? -- отвечал я, с трудом скрывая свое волнение, -- зачем читать? разве и без того непонятно?.. разве вы не видите, что я страдаю, что я болен? разве не чувствуете вы, что все уже сказано и нечего более объяснять?..

-- Ну, видишь ли, -- отвечала она, не поднимая своей головы, -- ведь я знала, что ты меня любишь; я была уверена в этом... и напрасно будешь ты мне говорить, что любовь невозможна для тебя, как будто ей нужно чье-нибудь позволение, как будто она в нас - не против нас!..

Я молчал, потому что в эту минуту всякое слово ее было для меня истиной.

-- Послушай, надо исправиться... нужно более жизни, менее рассудка. Зачем же жить, когда нет любви? Что же останется человеку, если отнять у него любовь? на чем отдохнуть, на чем успокоиться от ига жизни, как не на любви, этой поэзии жизни? Не чувствуешь ли ты холода и пустоты своего одинокого, эгоистического существования? не видишь ли ты смерти в самой жизни, когда не согрета она любовью? О нет, ты любишь, ты любишь меня... Я знаю, правда...

И она то по-прежнему играла моими волосами и прижималась головою к плечу моему, то вдруг поднимала мою голову, смотрела мне прямо в глаза и говорила своим мягким, ласкающим голосом: "Без любви нет счастия, без любви холодно, грустно..."

И мне казалось в ту минуту холодно и грустно -- без любви, и я в ту минуту помолодел, чувствовал себя здоровым и веселым, и слезы невольно навертывались на глазах, и я целовал ее

руки, целовал ее волосы, смеялся и плакал, как ребенок; в груди моей что-то как будто порвалось, как будто наводнило радостью все мое существо

-- О, будем счастливы, будем любить! -- говорит я, полный восторга, -- любовь -- смысл жизни, а жизнь благо! Будем же счастливы, и пусть пройдет вся жизнь наша, как один миг -- миг вечного самозабвения и вечной любви!

-- Да! будем счастливы, будем любить, -- повторяла за мною Таня, прижимаясь к груди моей.

Это были сладкие минуты моей жизни, и ничто тяжелое не помрачало моего существования! И теперь скажу я, зачем не вечно остается человек младенцем? зачем приходит рассудок, чтоб отравить жизнь его, чтоб наругаться над лучшим мгновением ее? И не оставит ничего неприкосновенным этот безжалостный судия, до всего коснется, все разоблачит неумолимая рука его, ни одна струна, ни один мускул души не укроется перед трезвым взором его!.. И устремится человек с растерзанным сердцем и горькими-горькими слезами на очах, чтоб уловить эти легкие, мимолетные видения, так светло очаровавшие душу его... и не уловит их: исчезли, исчезли навеки!..

Все это очень грустно, очень тяжело, тем более тяжело, что я сам понимаю всю уродливость своего положения, тем более невыносимо, что я претендую быть всегда логичным и чувствую, что ничтожнейшее обстоятельство может сбить меня с толку. Я вижу, что нужно мне оставить этот дом, что мне нужно бежать отсюда, и, между тем, рядом с этим решением, предстает передо мною другой, еще более для меня страшный вопрос -- не будет ли такое решение открытым признанием моей слабости, прямым обнаружением несостоятельности, столькими годами горького опыта добытых убеждений. И между этими двумя крайностями я останавливаюсь в нерешимости, не знаю, что предпринять, не делаю ничего ни за, ни против.

Вы скажете мне, может быть, что тут есть весьма простое средство, а именно: остаться и следовать побуждению природы; да в том-то и дело все, что этого-то побуждения определить я себе не могу, что, с одной стороны, несомненно для меня, что я люблю Таню, а с другой -- не менее верно и то, что любовь для меня поступает в категорию невозможностей, что она захиреет при самом начале, потому что нечем мне поддержать, нечем воспитать ее. Я страдаю глубоко, не видя выхода из этого противоречия, и это сознание так парализировало мои силы, что я остаюсь холодным зрителем своего собственного несчастия. Вы скажете опять, что я сам виновник своего страдания, что я сознательно и хладнокровно устроиваю его, что я артистически, с любовию созидаю себе препятствия. Но вы будете не правы, мой милый, потому что выбор того или другого решения вовсе не от меня зависит. Если б я и общество, среди которого я живу, составляли одно нераздельное, необходимое для взаимного уразумения целое, тогда, конечно, не стал бы я рассуждать, истинно ли такое-то мое побуждение и какие будут от него последствия -- я знал бы наверное, что оно истинно и что последствия, каковы бы они ни были, могут принести мне только вящее благосостояние и пользу. Но теперь я и действительность -- два понятия совершенно различные и взаимно друг друга уничтожающие, и если я желаю, то могу только ценою крови, ценою борьбы оправдать свое желание. Что нас убивает -- это недостаток исхода нашему эгоизму, это то, что всякий шаг наш есть уже борьба, что вся жизнь наша направлена необходимостью на такие предметы, к которым мы не чувствуем ни привязанности, ни склонности. Поэтому всякий труд сделался для нас тягостью невыносимою, работою египетскою, и потому куда ни обернетесь вы, везде люди действуют как бы нехотя, все движения их запечатлены каким-то вялым равнодушием, везде долг, везде принуждение, везде скука и ложь... Пора нам, наконец, оправдать себя в этом уродстве, пора сознать, что не мы виновники своего несчастия, что так

называемая свобода есть просто произведение нашей праздной фантазии, самообольщение горделивого духа нашего, что вся свобода наша состоит в безмолвном повиновении царящему над всем сущим закону необходимости.

И как, например, могу я запретить себе анализировать свое положение, когда при одном слове любви в уме моем уже восстают тысячи препятствий, тысячи призраков? Во-первых, если я позволю себе увлечься своим чувством, не ждет ли меня новая борьба -- борьба страшнее всего, что я испытывал в жизни, ибо доселе я старался устроить свое положение только так, чтоб в нем была возможно меньшая сумма зла, более оборонялся, нежели наступал; теперь же я положительно желаю счастия... и вы думаете, что мне дадут его, не высосав наперед половины моей крови? Бедняк, и об чем задумал! Да, меня удавят, а что всего страшнее, удавят не одного -- и Таня за мной пойдет! А если и не так, то я умру с голода и ее уморю! Вот какая перспектива передо мною! И напрасно будете вы говорить мне, что можно своими трудами достать себе кусок хлеба, хоть и не роскошный, а все-таки с голоду не умрешь. То-то не роскошный! Вы бы поели этого хлеба! Да и вздор, утопия, мой милый, мечтание -- трудом добывать себе хлеб! разве унижением -- это другое дело, а на это тоже нужна своя сноровка, нужна опытность, которой я не мог еще приобрести. Со временем, что мудреного - сила солому ломит! - и я, может быть, приобрету это волшебное искусство нравиться, искусство проникать в чужие карманы, которым обладают столь многие, -- да ведь все это со временем, а теперь...

Рассудите же сами, прилична ли мне любовь, не роскошь ли это для меня, когда я должен заботиться о насущном хлебе, когда я на минуту не могу забыться без того, чтоб эта минута не повлекла за собою целой вереницы страданий! И вы думаете, что это совместно? что можно в одно и то же время и любовь водить, и об обеде думать? Да знаете ли, ведь любовь-то убьет во мне всю энергию рассудка, ведь я расплывусь в этом чувстве, я умру с голода, и она умрет со мною! И какой точный, определенный язык у этой действительности: или люби, да и умирай же с голоду; или ешь черствый кусок хлеба, да уж и не моги помыслить о чем-нибудь другом! Да-с, женщина, это, изволите видеть, такой object de luxe [предмет роскоши (франц.)], который может позволить себе только богатый человек, а бедному -- тому, для кого она и смысл, и значение имеет, такая игрушка непозволительна!

Так вот к каким результатам приводит меня трезвый взгляд на мое положение! Конечно, если б я следовал только первому своему движению, я бы давно увез Таню; да в том-то и сила человека, потому-то он и глава создания, что прежде всего он предусмотрителен.

А между тем я все-таки ни на чем не остановился. Когда я один, когда не волнуется во мне кровь, я спокоен, я чувствую в себе решимость и силу, но когда приходит ко мне Таня с своею детски доверчивою улыбкою, с своими увлаженными глазами, когда, склоняясь головкою на плечо мое и полуулыбаясь, спрашивает она меня: "Ну, что, одумался ли ты, неверующий человек, доказал ли ты себе наконец, что любовь возможна для тебя?" -- я ничего не нахожу в ответ на слова ее, я сам и смеюсь, и плачу, я сам делаюсь ребенком, таким же, как и она, целую ее руки, целую ее волосы, платье и по целым часам бегаю как безумный с нею по саду... Ну, не грустно ли?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА ТАНИ

Чем более я думаю, как отказаться от этой несчастной страсти, как истребить ее в сердце своем, тем более преследует она меня и овладевает всею душою моею. В ней вся моя погибель, в ней же и все мое счастие, -- кто поймет, кто объяснит мне это?

А между тем это так. Я чувствую, как разбивается жизнь моя об это чудовищное бессилие, вижу, что все мое существо гибнет и гаснет в этой бесплодной борьбе, и, однако ж, я не могу ничего против этого, не могу сказать сердцу своему: перестань любить.

Ну, не страшно ли такое положение, не в состоянии ли оно свести в гроб самые цветущие силы, разбить самую крепкую грудь? И на чью долю выпало такое страдание? на долю бедной девочки, одинокой, слабой, без опоры! Правду сказать, знает же судьба, кого наделить своими ударами! И часто, в те минуты, когда зашевелится и взволнуется вся горечь, которая мало-помалу скоплялась и зрела на дне души моей, мне делается тяжко и душно, и я не знаю, куда деваться, куда склонить голову от тоски, которая гложет и изводит мое бедное сердце.

Куда же ты скрылась, куда исчезла ты, радость моей жизни? Где, в какой далекой стороне, летает чистая душа твоя, милая, добрая мама? Счастлива она там, среди божиих ангелов; не знает она ни горя, ни страдания: все в ней радость, все упоение! Скажи же мне, мама, я-то зачем же томлюсь и гибну в этой страшной темнице, зачем же у меня нет крыльев, чтоб полететь на это роскошное, синее небо? Раскинулось оно без конца и вдаль и вширь, все усеянное светлыми звездами! Вот и она, далекая звездочка моей мамы, смотрит себе ясно и спокойно на людей, и нет ей дела до тревог и волнений их! Ей нечего жалеть, нечего искать, не о чем заботиться: в себе самой обрела она и счастие, и спокойствие, и мир! Посмотри же на меня, светлая, переходная звездочка, брось радостный луч надежды в растерзанную, истомленную грудь мою! Стонет, плачет мое бедное сердце, и нет конца неисходному горю!

Забвения, одного забвения прошу я у жизни: пусть одеревенеет, оледенеет мое сердце, пусть спокойствие, хоть могильное, сойдет на душу, и не надо мне ни радости, ни любви, ничего, чем красно и сладко существование как-нибудь, день за днем, дотащила бы я до конца безотрадную жизнь.

И между тем сколько силы, сколько молодости растрачено в этих бесплодных стремлениях! И никто не узнает, как жгуче и невыносимо это молчаливое горе, никто не догадается, что есть в мире сердце, которому нужна помощь, есть душа, которая вянет среди сомнений, гнетущих ее... Ходят, шевелятся вокруг меня люди, но все это как-то злобно, неприязненно смотрит на чужое горе, все отворачивается и как будто говорит: что ты навязываешься с своим бессильным страданием? посмотри! все вокруг тебя заняты, все ищут и хлопочут; ты одна без дела, ты одна лишняя на свете! Боже мой! да виновата ли я, что у меня связаны руки, что спутано и оцеплено все мое существо? Виновата ли я, что мне заграждены невидимою, но жестокою рукою все пути, чтоб выйти из тяжкого моего положения? Отчего же, за какое страшное преступление так наказана я? Настанет ли наконец для меня та минута, когда просветлеет и просияет жизнь моя; скоро ли займется вновь заря, так рано потухшая на бледном горизонте моего существования, или долго еще страдать и томиться мне в этой холодной темнице, и никогда не проглянет солнце в черной ночи ее?..

Сегодня вечером все мы, не исключая даже и Марьи Ивановны, катались по озеру. Погода была чудесная, золотые лучи умирающего солнца дрожали и переливались на едва приметных струйках дремлющего озера; вечерний ветерок чуть-чуть рябил ровную поверхность воды, как неясный, но полный прелести ропот, долетали до нас отдаленные песни крестьян,

возвращавшихся с работы; все дышало таким тихим, безмятежным спокойствием в этой чудной картине сельского вечера; даже тростник, поросший вокруг озера, -- и тот как будто притаился и приник к воде, и ласточки спрятались в свои теплые гнезда.

Что это, как хорошо, как отрадно кататься вечером по озеру! как легко и свободно дышит грудь в этом влажном воздухе! И все как будто помолодели, повеселели мы, и отец стал как-то ласковее, добрее смотреть, и Марья Ивановна только для проформы делала разные хозяйственные замечания, а о детях и говорить нечего: смеются и бегают по плоту и, наверное, опрокинули бы его, если б не слышался изредка строгий голос Марьи Ивановны, запрещающий им шалить. Один Нагибин был как-то грустнее и задумчивее обыкновенного: во все время не сказал он почти ни слова, и как ни старался отец, но не мог успеть расшевелить его.

Наконец пора было и к берегу. Отец пошел с Марьей Ивановной домой, а мы с детьми в сад, и когда братья были далеко от нас, Нагибин подошел ко мне.

-- Вы позволите мне сказать вам несколько слов, Татьяна Игнатьевна? -- спросил он.

-- Сколько угодно, Андрей Павлыч; сядемте на скамейку.

Но он молчал и, казалось, обдумывал, как начать разговор.

-- Что же вы задумались, Андрей Павлыч? -- сказала я, -- вы хотели что-то передать мне?

-- Да, я хотел вам сказать... да, право, не умею, как выразить.

-- Стало быть, это очень дурно, друг мой, что вы не решаетесь высказать мне мысль свою?

-- О нет, тут нет ничего дурного! да вы все так принимаете к сердцу. Право, я не знаю...

-- Боже мой, что это за мука! Да скажете ли вы, наконец, что вас так сильно занимает?

-- Меня занимает... Послушайте, Татьяна Игнатьевна, вы должны одобрить мое решение... оно необходимо как для вашего, так и для моего спокойствия...

-- Какое же это решение?

-- Вот видите ли; сегодня я много думал, отчего вы так грустны с некоторого времени, отчего вы с каждым днем увядаете.

-- Ну, так что же, Андрей Павлыч?

-- Да ведь это я вас так измучил, я с своим несносным бессилием; это от меня вы так страдаете, доброе дитя мое! Еще если б я один -- я перенес бы все; но видеть, как вы каждую минуту умираете, как вы томитесь, -- эта мука выше сил моих!

-- Так вы решились... ехать отсюда?..

-- Могу ли же я оставаться, милая Таня?

-- И вы думаете, что ваш отъезд поможет моему горю, Андрей Павлыч?

-- Кто знает? может быть... О, это все мое желание, все моление мое! Это дало бы спокойствие моему сердцу. Время все изглаживает, время великий врач всех недугов, особливо сердечных...

-- Вы думаете, Андрей Павлыч? вы думаете, что и вдали от вас мое сердце не будет всегда и везде с вами?

-- Кто знает?

-- О нет, я знаю, Андрей Павлыч. Видите ли, вы никогда не любили в жизни -- вы и не знаете, и не мудрено, что вам кажется, будто время все изглаживает, все исцеляет. А если оно, вместо того чтоб заживить мои раны, только растравит их?

Я взглянула ему в лицо и сама ужаснулась его мертвенной бледности; казалось, несносная тяжесть удручала и жала ему грудь и не позволяла вздохнуть свободно.

-- Что с вами, Андрей Павлыч? -- сказала я, взяв его за руку, -- зачем же так сильно принимать все к сердцу?

-- Что же делать, на что же решиться мне? -- прошептал он едва слышно. -- Боже мой, боже мой! где же конец, где же граница этому страданию!

-- Перестаньте же, Андрей Павлыч; вы видите, что меня мучит ваше страданье; бросимте говорить об этом; пусть будет, что будет, -- зачем загадывать вперед. Вы что-то больны сегодня, друг мой.

-- Да, болен я; но в том-то и дело, что я всегда так болен, добрая, милая Таня; в том-то и дело, что нет конца этой мучительной болезни, что я сам чувствую, как сводит она меня мало-помалу в могилу... Хоть бы поскорее, хоть бы разом покончила она со мною!

-- А я-то, а обо мне-то и забыли вы, Андрей Павлыч? я-то с кем же останусь? и вам не жаль меня будет? не жаль? а, Андрей Павлыч? что же вы молчите?

-- Что же мне отвечать вам? Жаль! мало ли чего мне жаль, Таня, мало ли чего бы я хотел? Да я такой маленький человек, что не должен желать чего-нибудь безнаказанно! Сожалеть? пожалуй, сожалеть, да что будет в том проку, подвинемся ли мы оба хоть на шаг от этого? Ах, зачем свела меня с вами судьба! шли бы мы каждый своею дорогой, дотянули бы как-нибудь до смерти!

-- Ах, боже мой! к чему же эти мысли, друг мой? Зачем мы встретились? кто ж это знает? и зачем вам непременно нужно объяснить себе это? Мы встретились -- это была случайность; мы полюбили друг друга -- это было необходимым последствием нашей встречи! Зачем же везде хотите вы видеть что-то особенное, какое-то злобное преследование судьбы? зачем все эти вопросы, Андрей Павлыч?

-- Зачем? Спросите лучше, зачем всякое явление раздвояется в моих глазах; зачем ни на один вопрос не может рассудок мой отвечать откровенно: да или нет; зачем в одно и то же время рождается в моей душе тысяча оправданий и тысяча опровержений? Ваше молодое сердце не может постичь, сколько жгучего страдания в этой странной жизни, где не на чем успокоиться рассудку, где беспрестанно думаешь упираться ногами в землю, и беспрестанно колеблется и уходит она из-под ног!

Он задумался; голова его медленно опустилась на грудь; на бледном лице выразилась тихая, безмолвная горесть; как будто вдруг сделалось спокойно и светло в душе его, как будто чувствовалось уж в этом грустном взоре будущее примирение.

-- Ужасны не самые лишения, -- сказал он дрожащим голосом, -- не сама бесцветность и бедность жизни гложет душу -- ужасно сознание возможности счастия, сознание всей обаятельной сладости удовлетворенной страсти, которое, на горе бедному парию, является воображению его в самые трудные минуты его жизни! Видеть счастье во всей чудной полноте его, осязать руками эту таинственною чашу блаженства, предмет столь долгих и мучительных помышлений человека, и в то же время сознавать, что никогда губы его не прикоснутся к ней, -- вот пред чем цепенеет мысль человека, вот где истинное бедствие его положения!

И долго удерживаемые слезы ручьями полились из глаз его.

-- Сознавать разумность и необходимость любви, -- сказал он, рыдая, -- и сознавать невозможность и неразумность ее! любить и не любить! Да где же тут смысл, кто поймет это?

И я не могла удержаться, и я с рыданием упала на грудь его и целовала ее.

-- О, плачьте, плачьте, друг мой! -- говорила я, -- и пусть в этих слезах все дотла выплачется безотвязное горе, которое тяжелым камнем легло на душу вашу, и пусть никогда не возвратится эта черная туча сомнения, омрачившая светлый день нашей жизни!

И он, казалось, повеселел и помолодел, улыбаясь сквозь слезы, глядел на меня и нежно прижимал меня к груди своей.

-- Ты-то что плачешь, Таня? -- говорил он, -- ты-то об чем горюешь, милое дитя мое? тебя-то за что заставляю я страдать, добрый ангел мой?

-- О нет, я не страдаю, я весела, мне так хорошо, так спокойно теперь у тебя на груди... Слышишь, как бьется твое сердце, как радо оно этим теплым, живительным слезам!

-- Да, мне легко, мне свободно в эту минуту, милая Таня, все во мне любовь и упоение, и нет следа тяжелым сомнениям, которые еще за минуту висели надо мною... Повтори же мне, друг мой, не правда ли, ведь его уж нет, он не стоит уж между нами, этот страшный призрак, который мешал нам жить, мешал нам любить друг друга? И мы можем свободно дышать, можем посмеяться над этим старым пугалом, потому что мы сильны своею любовью, и нет в мире препятствия, которого бы не сокрушили мы! Так ли, дитя мое, радость моя, так ли я рассуждаю теперь? хорошо ли ведет себя воспитанник твой, стоит ли он поцелуя своей доброй наставницы?

И он привлек меня к себе и посадил на колени.

-- Ведь это все вздор, что я прежде говорил тебе? ведь неправда, будто любовь невозможна, будто она неразумна?.. Ах, боже мой! да, стало быть, она возможна, стало быть, разумна, коли она есть, коли ею живет и трепещет все существо мое? Так ли, добрая Таня?

Я сама удивилась, как быстро и как совершенно произошла в нем такая перемена, как внезапно всякое слово его приняло жизнь и задышало страстью.

-- Таня, а Таня, -- сказал он, дрожа от волнения, -- зачем эта косынка на груди твоей, зачем она мешает?.. Сними ее, брось ее дальше, чтоб не было ничего между тобою и мною. Ну, полно же, полно, дитя, -- продолжал он, удерживая меня, -- ведь это я так... это пройдет... ты не сердишься на меня, друг мой?

И он обхватил обеими руками мою голову и долго вглядывался в глаза мои, как будто хотел высмотреть в них самую затаенную мысль.

-- А знаешь ли, зачем я так долго вглядываюсь в глаза твои, Таня? Я смотрю, как отражается в них это чудное летнее небо, которое так роскошно раскинулось над нами. Вон блеснула и задрожала в них далекая звездочка. К кому-то послана ты? чью-то судьбу хранишь ты? Ах, вон и упала она... и нет больше звездочки! А слыхала ли ты? говорят, будто в минуту падения звезды непременно кто-нибудь умирает! Ведь не правда это, Таня, ведь это всё глупые люди выдумали: в эту минуту все живут, все счастливы? так ли, Таня? так ли, дитя мое?

Но я боялась и не смела прерывать это детское упоение, которым он сам, казалось, так жадно любовался, как будто страшился потерять одну минуту счастия, как будто всяким мгновением хотел он воспользоваться и извлечь из него возможную сумму наслаждения.

-- Ах, что за чудные, что за мягкие у тебя волосы, Таня! -- сказал он, играя моими локонами и целуя их, -- только одного мне жаль, дитя мое...

-- Что же так печалит тебя, друг мой?

-- Не знаю отчего, -- сказал он сквозь слезы, -- а мне все приходит на мысль, что все-таки нам жить розно, все-таки не сойтись.

-- Ах, боже мои! опять эти грустные мысли! да брось их, выкинь их из головы, друг мой.

-- Нельзя, Таня, нельзя! Вот видишь ли: это так ясно, так очевидно, что само собою, против меня, приходит мне на мысль.

И в голосе его было столько страдания, когда он говорил это, что сердце мое надрывалось от горести, и я снова бросилась рыдая к нему на грудь.

-- Ну, вот ты и опять плачешь, странный ребенок! Жаль мне тебя, милая, жаль, потому что я замучаю, изведу тебя своими бреднями! Ах, брось, забудь меня, Таня... Ну, не горюя же, посмотри на меня, бесценное сокровище мое, поцелуй меня...

-- Забыть! тебя забыть? -- говорила я, целуя грудь его, -- да что же будет тогда с жизнью моею? неужели опять возвратится эта пустота, эта неизвестность? О нет! пусть лучше страдание, пусть горе, пусть хоть что-нибудь -- только не возвращаться к этой грустной, бесцельной жизни!

-- Бедное дитя! да смерила ли ты силы свои? станет ли у тебя бодрости, чтоб бороться, всегда и везде бороться? Ведь это страшная жизнь, ведь нужно железные мышцы, чтоб устоять в ней! Она режет, она давит, она отнимает последнюю искру рассудка, эта грозная действительность, и нигде не скроешься, никуда не убежишь от нее!

-- Пусть давит, пусть режет она! Моя любовь защитит меня от ее ударов. Как ты не хочешь понять, что я сильна своею любовью, что нет для нее ни преград, ни препятствий?

-- Бедная Таня! -- сказал он со вздохом, -- а что, если ты ошибаешься?

И он крепко прижал меня к сердцу.

Было уже довольно поздно; таинственный сумрак спустился на сад и придавал ему какой-то фантастический, обманчивый колорит; холодная вечерняя роса падала на утомленную дневным

зноем землю; над озером вился легкий, прозрачный туман; из аллеи долетал до нас резвый шум и хохот детей, но как-то смутно, невнятно, оба мы были в каком-то упоительном забвении, и оба не могли сказать друг другу слова, как будто невидимое очарование сковало язык и оцепенило все существо наше.

И величественною красотою блистало над головами нашими далекое небо, и, весело шумя зелеными листьями, склонялась душистая черемуха, осеняя любовь нашу...

Я так еще полна вчерашним разговором! передо мною еще так живо носится воспоминание этой благоухающей минуты, в себе одной поглотившей всю прошедшую, безотрадную жизнь мою! Но странное дело! это счастие как-то различно действует на нас; во мне оно пролило какой-то неведомый избыток жизни, дало силу и энергию всему существу, я весела, я радуюсь, я так довольна собою, что все готова забыть, все простить, готова всех обнять и прижать к сердцу.

Он, напротив, так угрюмо и скучно смотрит на все, как будто еще большая тяжесть, большее бремя налилось ему на душу, и все избегает встреч со мною, и беспрестанно или сидит около детей, или нарочно удерживает отца, как только видит, что нам приходится остаться наедине.

Да погодите же, я поймаю вас, не увернетесь вы теперь от меня, Андрей Павлович! В вас опять зашевелились эти несносные вопросительные знаки, вы опять хотите как-нибудь отлавировать от решительного ответа, да я вас не оставлю, я допрошу-таки вас, поставлю на своем, и будете же вы мой, и будете вы чувствовать и рассуждать не так, как вам вздумается, а как я позволю. О, вы меня не знаете, Андрей Павлович! ведь я ужасный деспот, у меня всё на военную ногу, никогда никаких рассуждений, и все делать, как приказывает начальство!

Зато как мы весело, счастливо будем жить, друг мой! как будем любить друг друга! И не думайте, чтоб я воображала себе богатство, великолепие -- совсем нет! Я знаю, что будут у нас лишения... да, боже мой! в чьей же жизни нет своих маленьких неприятностей, своих огорчений! зачем же нам одним составлять исключение?

И лучше ли было бы, если бы не существовало для нас этих лишений, если бы все, что бы ни захотели мы, являлось вдруг навстречу желаниям нашим? Да ведь нам скоро надоела бы эта безнуждная жизнь, ведь мы соскучились бы, утомились бы, друг мой; ведь только горем бывает понятна радость, только лишением дорого удовлетворение!

А я буду так лелеять, холить тебя, любимое, больное дитя мое! и мигом сгоню незваное и непрошеное горе с лица, мигом развеселю и утешу моего милого баловня! Ведь в том-то и обаяние любви, в том-то и прелесть любимой женщины, что есть кому поверить тайную мысль, есть на чьем сердце выплакать безотвязно преследующее сомнение. Вот и ты, мой друг, что теперь в твоей бедной, одинокой жизни? счастлив ли ты, доволен ли? можешь ли хоть на минуту забыться, оторваться от грустной действительности? Нет, грустен, страдаешь ты, потому что затвердел на сердце твоем этот больной нарост, весь составленный из сомнений и противоречий, и некому расшевелить их, некому облегчить твое бедное сердце! Одна любовь может вылечить болезнь твою; она одна в состоянии размягчить твое сердце, просветлить все существо твое; ее могущество сделает легким тяжелое бремя, которое суждено нам нести, <нрзб> жестокое иго, которое тяготеет на нас!

Да и будто одни лишения, одни горести ожидают нас впереди? Будто в нас самих не представляется нам неисчерпаемый источник разнообразных и всезаменяющих наслаждений? Будто непременно нужен блеск, нужен шум для нашей любви, будто не все радость, не все

упоение в этой тихой, семейной жизни, среди тесного кружка друзей, где все мыслит одною мыслью, чувствует одним чувством, где все дышит такою светлою безыскусственною тишиною?.. Ах, друг мой, скорее в этот уютный уголок! подальше от людей и холодных расчетов их! запремся от них крепко-накрепко в неприступной крепости нашей, и пусть идет мимо бессильная злоба их, и не настигнет нас дрожащею от зависти рукою пущенные стрелы их!

А притом же, ведь у нас будет семейство, будут дети! Ведь у нас будут дети? не правда ли, непременно будут, друг мой?

Ах, что это за чудное чувство быть матерью! Я и теперь так люблю этих милых крошек и смотрю -- не насмотрюсь, не налюбуюсь ими! Что же это будет, когда у меня будут свои дети, свои милые ангельчики, и будут они резвиться, бегать вокруг меня, будут называть меня своею милою, доброю мамой? Да и будет же любить вас эта баловница мама, будет она целый день играть с вами, чтоб ни одной минуты не знали вы скуки, чтоб всякое мгновение вашей жизни было для вас радостью и счастьем! И когда наступит ночь и начнут смыкаться от сна ваши глазки, засыпайте спокойно на маленькой кроватке вашей, и пусть снятся вам божии ангелы, пусть ничто не смутит этого беззаботного сна невинности: за вами всю ночь будет следить зоркий глаз вашей мамы, всю ночь не уснет она, лишь бы вы были счастливы, светлые мои ангельчики!

И пусть не смеет сердиться старый ворчун папа, если ему надоест ваш резвый шум, -- не то сейчас заставим мы его самого играть и бегать с нами! О, мы сумеем управиться с ним! Ведь он один, а нас много, и притом у нас столько средств, столько силы!

Голова у меня кружится, сердце бьется в груди, как будто выскочить хочет, когда я думаю обо всем этом! И как весело бегаю я одна по саду, прощаюсь с каждым уголком его, как будто и не видать мне его никогда, как будто и началась уж для меня эта новая, обаятельная жизнь!

Что же вы то не развеселитесь, что же вы-то так угрюмо, печально смотрите, Андрей Павлович? Или вам все еще не верится этой полноте счастия, или вы уж так запуганы жизнью, что боитесь отдаться ей, боитесь, не обманывает ли вас она снова, нет ли тут какой-нибудь хитрости, какого-нибудь силка? Разуверься же, милый резонер мой! счастье есть, любовь существует: она бьет и рвется ключом в моем сердце, а ты знаешь, что я не страдаю эгоизмом!

И давно ли, давно ли, боже мой, в этом журнале были только печальные строки? давно ли в этом сердце жили только страдание и безнадежность? и вот уж два дня, как я совершенно счастлива, два дня, как всякое слово моего дневника дышит радостью и упоением!

И как <нрзб>, как тепло все смотрит вокруг меня! И говорю я, не наговорюсь, целый день все бы смеялась, все бы бегала, все бы я болтала без умолка! Даже отец заметил Марье Ивановне эту необыкновенную веселость, а Марья Ивановна -- такая, право, хитрая! -- лукаво улыбаясь, отвечала: "Чего ж тут мудреного, батюшка, что девка сама не знает, чему радуется? уж такие ее года: пора и к месту, пора и женишка приискать!" И отец засмеялся и погрозил мне пальцем. Бедные! они и не подозревают, отчего я так весела, они и не воображают себе, что тут нечего ни приискивать, ни пристроивать, что без них уж все сделано, без них пристроено!

Видно, это ты, милая мама, помолилась за меня богу; видно, донесла до тебя наконец светлая звездочка весть о твоей бедной дочери! Посмотри же на меня из чудной обители твоей, порадуйся же моему счастию, благослови меня <нрзб> далекий путь моей новой жизни!

Но пора, однако ж, тушить свечу и ложиться спать... Ах, боже мой, как не хочется мне нынче расставаться с своим журналом! А делать нечего -- нужно! Что-то я буду видеть во сне, увижу ли я вас, мои светлые ангельчики, мои милые дети? Буду ли я убаюкивать вас и петь над вами тихую колыбельную песенку, или будем мы вместе резвиться и бегать до упада в нашем крошечном, уединенном садике?

ОТ НАГИБИНА К г. NN

На днях я встретился с общим нашим знакомым и старым товарищем, Гуровым. Он оказывается соседом Крошиных и приезжал к ним с отцом своим. Встреча эта много позабавила меня, потому что редко видал я более комическую группу, как господа Гуровы, отец и сын. Оба они престрашные сантименталы, "словечка в простоте не скажут, все с ужимкой"; сын, как видно, обрадовался свиданью со мною и тотчас же рекомендовал отцу, как собрата своего по Аполлону. Такая неожиданная рекомендация, признаюсь, несколько смутила меня, потому что, как вам известно, я довольно давно уже не предаюсь никакому разврату, и в этом духе выразил я Григорию Александровичу свое сожаление, что не могу оправдать рекомендацию его сына.

-- Жаль, очень жаль, почтеннейший Андрей Павлыч, поэзия -- это, так сказать, ядро, центр нашей жизни, это, изволите видеть, душа; без поэзии мы простые смертные, без нее у души нашей нет крыльев возлететь к своей первобытной отчизне...

На это я отвечал ему, что не всем же летать на небо, что тут одни избранные, а мне, как простому смертному, ничего более не остается, как пресмыкаться по земле.

Наконец мы как-то остались наедине с молодым Гуровым.

-- Ну, что поделываете, почтеннейший Николай Григорьич? -- спросил я его.

-- Право, не знаю, как вам сказать: пользуюсь воздухом, читаю моих любимцев -- и вполне счастлив, одного только как будто недостает мне, это -- любви.

-- Только-то! Так можно, стало быть, вас поздравить: вы счастливы!

-- Да, я счастлив, -- отвечал он со вздохом, -- приезжайте к нам, мы вместе вспомним о прошедшем, позабудемся в сладком чаду давно минувшей юности, вместе будем беседовать с природою...

-- Извините меня: я что-то уж поотвык, да и вообще воспринимательная способность во мне как-то тупа.

Он с чувством пожал мне руку.

-- Вы страдаете, вы разочарованы? -- сказал он таинственным голосом, -- и вас сломила эта презренная действительность? О, как я рад, что узнал вас, что встретил наконец человека, который может понять меня! И я тоже страдаю, и я разочарован, и я несчастлив! Брат! дай мне руку!

-- С удовольствием, если это вам приятно, -- отвечал я и подал ему руку. -- Да как же вы мне сейчас только что говорили, что вполне счастливы?

-- Да; когда я один, когда я далеко от этих людей-крокодилов, как сказал великий британец, когда я один на один с моею природою, когда надо мною, вечно зеленея,

Темный дуб склоняется и шумит.

-- Помилуйте, Николай Григорьич! да у нас и не растут вовсе дубы!

-- О! это ничего! внутри меня вселенная... О, я желал бы умереть!

-- Да зачем же вам умирать? Подумайте, что по смерти вы не могли бы ни беседовать с природою, ни носить в груди вселенную, что, я думаю, должно быть весьма лестно, хоть и не легко.

-- О нет, ты не понимаешь меня, брат мой! Глаза твои подернуты еще пеленою, которою покрыла их действительность -- холодная и безотрадная! Умереть, умереть -- уснуть, как говорит божественный Гамлет... О, будь моим другом!

-- С удовольствием; только, право, не знаю, буду ли я в состоянии удовлетворить вашим требованиям: я человек простой, хочу жить, а умирать не желаю.

-- О, зачем говоришь ты мне вы? Зачем называешь ты меня Николаем Григорьевичем?

Что имя! Звук пустой!

Ненавистная оболочка, от которой я хочу освободиться! Называй меня братом своим.

-- Отчего же? и это можно, любезный брат мой, -- отвечал я.

В это время подошла к нам Таня, еще издали увидев ее, брат мой стал поправлять на себе жилет и галстух и приглаживать свою прическу.

-- Здравствуйте, Николай Григорьич, -- сказала Таня, -- здоровы ли ваши сестрицы?

-- О, они здоровы! -- отвечал он иронически, -- они не могут быть больны, им неизвестны страдания!

-- Я очень рада.

-- А я признаюсь вам, сударыня, я жалею, что им незнаком этот очистительный огонь души...

-- Как вам нравится наш сад? -- спросила Таня.

-- О, прелестен! Я только что говорил об нем с моим другом: он вполне меня понимает! Этот человек, -- продолжал Гуров с возрастающим жаром, -- под холодною личиною таит нежное, любящее сердце!

Таня улыбнулась.

-- Послушайте, однако ж, Николай Григорьич, -- сказал я, -- не слишком ли увлекает вас ваше расположение ко мне?

Но он ничего не отвечал: он вперил свои очи к небу и был, казалось, в упоении; когда Таня ушла, он взял меня за руку и сказал:

-- Извини меня, брат мой, я не открыл тебе лучшей страницы моей жизни: я люблю, я любим... Не правда ли, какое чистое, небесное существо?

-- Об ком это вы говорите?

-- Я бы сказал: об ангеле, но я на земле, а люди называют ее Таней... Не правда ли, сколько любви, любви безграничной в ее глазах?.. О, я люблю ее, и отец обещал мне сегодня же поговорить с Игнатьем Кузьмичом.

-- Отчего вам и не жениться? это партия недурная: у нее пятьсот душ!

-- О нет, ты не понимаешь меня! Что презренное богатство? я не продаю души своей!

В таком духе продолжался наш разговор почти весь день, насилу я мог освободиться от докучливого любовника природы.

Когда она уехали, я рассказал Тане намерения Гурова, подшучивая над нею, что я знаю все, что Гуров проболтался мне, что она его любит. Но она только рассмеялась на мои слова, назвала меня ревнивцем и ушла в свою комнату. За ужином, однако ж, она была что-то скучна, и когда мы встали из-за стола, подошла ко мне и позвала с собою в сад.

-- Ты не обманываешь меня, -- сказала она, -- Гуров хочет просить мою руку?

-- Нет; он сам мне сказал это, и я думаю, что отец его уж говорил с Игнатьем Кузьмичом.

-- И ты так равнодушно говоришь об этом?

-- Да разве плакать надобно? Пожалуй, я...

-- Нет, зачем же? Не трудитесь... так это верно?

-- Зачем мне обманывать?

Таня заплакала.

-- Разумеется, -- сказала она дрожащим от слез голосом, -- зачем тебе обманывать? Уверяй меня, уверяй больше. Так уж это решено? Ведь меня отдадут ему? Не правда ли?

Не знаю, что было со мною в этот вечер: хотел ли я вознаградить себя за целый день скуки? только я был до чрезвычайности весел.

-- Послушай, Таня, -- сказал я, -- ну, что ж, если ты и выйдешь за него замуж?..

-- Разумеется, разумеется, если я и умру, так ничего! кому какое дело! Никто и слезинки не проронит, как будто бы и не было Тани, как будто никого и не любила она!

Она замолчала и отвернулась от меня.

-- За что же ты сердишься на меня, Таня?

Молчание.

-- Таня! а, Таня! что ж ты молчишь?

-- Что мне говорить? Я все уж сказала; ведь вам все равно. Ну, выйду замуж за Гурова, буду счастлива... Чего же более?

-- Да ведь ты его любишь, Таня?

Нет ответа.

-- Он сам сказал мне это, правда?

-- А правда ли, что у вас под холодною личиною таится нежное и любящее сердце?

Я засмеялся, Таня тоже улыбнулась.

-- Ведь ты обманываешь меня! -- сказала она, -- зачем же так мучить? Не стыдно ли? А впрочем, знаешь что? мне даже жалко, что Гуров не хочет на мне жениться.

-- Это почему?

-- Да ты на что-нибудь решился бы тогда...

-- На что же я мог бы решиться, Таня?

Но Таня улыбнулась и ничего не отвечала.

-- Впрочем, -- сказала она, -- так как ничто нам еще не угрожает, то нечего и говорить об этом.

И мы расстались. Признаюсь вам, эти слова немало меня беспокоят; я сам не знаю наверное, будет ли просить Гуров руки Тани, но это дело весьма возможное, и я ужасаюсь и предугадываю последствия, которые поведут для меня за собою эти переговоры. Прошу вас, если вы меня любите, дать мне какой-нибудь ответ, как поступить мне в этом случае, потому что сам я решительно не могу ничего придумать для своего спасения. Я столько натерпелся в жизни голода, холода и всяких щепетильных преследований, что, признаюсь, рад был хоть несколько отдохнуть, и если не был счастлив, зато и несчастлив не был. А теперь опять заботы, опять хлопоты, опять страдание! А я было заперся совсем и так рад был своему спокойствию! Что ни говорите, а избегать зла в природе человека; обладание же Таней, в настоящую минуту, для меня решительное зло. Это так несомненно, так логически доказал я себе, что никакие доводы не убедят меня в противном. Бога ради, пишите мне, научите, что мне делать, потому что, без всяких шуток, положение мое невыносимо: я и себя и ее мучу, и себя и ее обманываю.

Жду письма вашего с нетерпением и надеюсь, что вы не забудете меня. Помните, что я в таком оцепенении, что не могу сам выйти из него, что нужен какой-нибудь внешний толчок, чтоб разбудить меня от этой мертвой апатии и вытолкнуть вновь на ровную дорогу, с которой я сбился.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА ТАНИ

Наконец сегодня утром позвали меня к отцу. Он сидел в своем кабинете с Марьей Ивановной; перед ним лежало на столе распечатанное письмо, и портрет покойницы мамы, обыкновенно задернутый занавескою, на этот раз был открыт: все заранее было рассчитано, чтоб произвести сильный эффект. Отец начал первый.

-- Милая, -- сказал он торжественным тоном, которым вовсе не шел к его лицу, -- в вечной заботливости о твоем счастии, я и Марья Ивановна...

Он остановился, закашлялся и не знал, как продолжать; я тоже стояла и ждала.

-- Так вот, видишь ли, друг мой, я и Марья Ивановна, заботясь о твоем благополучии...

И опять остановился.

-- Что ж ты, батюшка? язык, что ли, проглотил? -- прервала Марья Ивановна, -- что это с тобой сделалось? иной раз не уймешь, а вот как дело, так у него и языка нет.

-- Эка баба, эка проклятая баба! -- сказал отец, -- слова вымолвить не даст! Ведь это дело деликатное, баба ты, баба-наседка, нужно это дело издалека повесть, нужно обдумать... то-то, говорил я тебе пословицу-то, помнишь? а все суется -- экой собачий нрав! Все бы мутила да пакостила! Черт, право черт, прости господи мое прегрешение! сатана сидит у тебя в сердце, сударыня!

И я все стояла и ждала, к чему поведет это предисловие.

-- Так вот, видишь ли, Таня, -- снова начал отец, -- вот мы с Марьей Ивановной... дьявол, а не женщина! сатана, сударыня, сидит в тебе! все бы мутить, все бы изгадить.

-- Да кончите же, папенька, что вы хотели сказать мне?

-- Да вот все она -- эка проклятая баба! слова не даст сказать; все бы ругаться да лаяться, прости господи мое прегрешение!

-- Ну, что-то еще будет? -- сказала наконец Марья Ивановна, -- ну, продолжай, продолжай, свет мой; скоро ли все это кончится?

-- Я говорю правду, истину говорю -- ни в грош меня не ставишь, сударыня, в бога не веруешь.

-- Да, да, ну, нет ли еще чего?

-- Обо всем дашь ответ на том свете, богомерзкая баба, за все заплатишь. Ты, чай, ждешь не дождешься моей смерти... я тебя насквозь вижу; да вот и умер бы, да назло тебе буду жить, да и тебя еще похороню.

-- Объясните хоть вы мне, Марья Ивановна, -- сказала я, -- зачем меня сюда призвали, чего хотят от меня?

-- Ах, милая! видишь ли, что у папеньки есть нужные дела, дай же ему отвесть душу, а мы с тобой еще подождем, еще успеем.

-- Ну, говори, говори, проклятая! вишь, у тебя язык-то чешется, вся в отца, сейчас видно подлое семя.

-- Ну, кончил, что ли, ты, батюшка? все ли рассказал, отец мой?

Отец хотел было опять отвечать, но я его удержала.

-- Добрый папенька, -- сказала я, -- ради бога, перестаньте; разве вы не видите, что это меня терзает?

-- Вот только для тебя, Таня, право, только для нее, слышь ты, проклятая баба! ну, говори же, коли лучше меня умеешь.

Марья Ивановна начала.

-- Вот, видишь ли, друг мой, -- сказала она, -- лета твои уж не детские, пора тебе и пристроиться, найти себе партию; да ведь тебе, я думаю, и самой хочется этого, плутовка! То-то вот -- как ни мила девическая воля, как ни тепло под крылышком у папеньки и маменьки, а все, чай, лучше, как своим-то домком?.. Так ли, голубушка Таня, а? Что ж ты не отвечаешь, друг мой?

Но я все еще как-то неясно понимала, что хотела она сказать этими словами, я чувствовала, что готовится что-то страшное, какой-то неожиданный удар, но я так мало до сих пор думала об этом, что, несмотря на всю ясность слов Марьи Ивановны, не могла себе определительно растолковать их.

-- Я слушаю вас, Марья Ивановна, -- сказала я, -- только вы, кажется, еще не кончили?

-- Нет, милая, да ведь это не долго будет... Так вот, видя, что ты в лета входишь, Игнатий Кузьмич и я... ведь я хоть и мачеха тебе, Таня, а все равно что родная мать бывает, и матери не заботятся так о родных детях, как я о тебе...

-- О, я верю, Марья Ивановна, и благодарю вас за это.

-- То-то же, друг мой, я и надеюсь, что ты не забудешь меня... Так мы вот думали, думали, какую бы для тебя приискать повыгоднее партию, чтоб прилично было девушке дворянской фамилии, ан вот жених-то и сам приискался...

-- Жених? Мне? -- сказала я и остановилась, как громом пораженная; я чувствовала, как вдруг застыла во мне вся жизнь, как вдруг порвались и исчезли все мои силы.

-- Да, милая, вот и письмо, которое сегодня прислал к нам Николай Григорьич: он пишет, что уверен в любви твоей, Таня, <нрзб>... А от нас скрывала, плутовка?

И она улыбнулась; я взяла письмо и пробежала глазами, но не могла ничего понять из него, до такой степени в один миг оцепенели все мои способности, одеревенело все существо мое; я не чувствовала в эту минуту ни горести, ни отчаяния, как будто все умерло, кончилось во мне, как будто все превратилось в какую-то неестественную слабость.

-- Что ж ты стоишь, милая? -- сказала Марья Ивановна, -- поздравляю тебя, друг мой; подойди же, поцелуй у папеньки руку, поблагодари его -- ведь это он все так об тебе заботится.

Я не знаю, как это все сделалось, но я подошла и машинально поцеловала у отца руку, машинально также поцеловала в губы Марью Ивановну. Отец даже что-то сказал мне, как будто вроде родительскою благословения, но я ничего не поняла: я все думала о том, что это за странный рок, который так обидно забавляется судьбою моею и как будто в насмешку устроивает все так, что одна минута счастия влечет за собою целую бездну погибели и страдания.

Бессвязно долетали до меня приветствия и поздравления домашних, смутно слушала я слова Марьи Ивановны: "Смотрите, как довольна, говорить не может от радости, а нам ни полслова, плутовка! Да уж бог с тобой: была бы ты счастлива, была бы ты весела, а нам, старикам, пора и на покой! Так ли, друг мой?"

Наконец и он подошел.

-- Позвольте вас поздравить, Татьяна Игнатьевна, -- сказал он.

-- С чем, Андрей Павлыч?

-- С началом новой жизни; ведь вы с завтрашнего дня будете объявлены невестой.

-- Ах, да, а я и забыла; благодарю вас, Андрей Павлыч, благодарю за участие.

И он еще хотел что-то сказать мне, но не мог, потому что в продолжение целого дня Марья Ивановна не отступала от меня ни на шаг. Что же хотел он сказать мне?

Не знаю, как добила я этот несчастный день; насилу-то оставили наконец меня одну, насилу могу я запереться в своей комнатке. Говорят, будто завтра приедет жених, и мне приказано пораньше заснуть, чтоб быть свежее и веселее... а я больна и, может быть, вовсе не встану с постели!

Господи! где рука твоя, где твоя благость? Я умираю, я гибну, я поневоле подниму на себя руки, если все это не кончится! потому что нет мне больше силы терпеть, потому что терпенье -- бесплодная добродетель, над которою смеются, в которую бросают каменьями! Пусть же покажет оно лицо свое, пусть явится оно, давно желанное провидение, когда нужна его помощь, потому что тут нечего ждать, нечего медлить, надо скорее спешить на помощь, потому что одна минута промедления будет стоить целой жизни человеку!

Уж скоро будет неделя, как Гуров объявлен моим женихом и почти безвыездно живет у нас. Нельзя представить себе того мученья, которое я терплю все это время: целые дни он, как тень, ни на шаг не отходит от меня, целые дни твердит мне о своей любви, о симпатии душ, читает свои стихи, спрашивает у меня советов, и когда я молчу, потому что действительно не знаю, что отвечать на его вопросы, он жалобно, почти со слезами, говорит мне: "Что ж вы ничего не скажете, Татьяна Игнатьевна? или вы равнодушны к моему чувству, или вы не любите меня, друг мой?"

Если б он знал, какая горькая для него истина заключается в этих невольно высказавшихся словах!

И как будто нарочно, Нагибин постоянно оставляет нас одних, чуть только есть маленькая возможность ускользнуть ему от меня!

Отчего же не могу я любить Гурова? отчего он жалок мне? отчего его любовь кажется приторною, переслащенною, его предупредительность надоедает мне? И действительно, в нем совершенно нет никакого внутреннего содержания и слишком мало образованности, начитанности, чтоб хоть сколько-нибудь заменить этот недостаток, так что в одну минуту, в одном разговоре, он так вполне всего себя выскажет, что более ничего не остается и знать об нем. А между тем любовь именно и живет этой неизвестностью, именно в том и обаяние ее, что беспрестанно думаешь, будто вполне изведала всю душу, всю жизнь любимого человека, и беспрестанно открываешь в нем новые стороны, новый неисчерпаемый источник для изучения... До тех только пор и живет страсть, покуда она еще не вполне удовлетворена, покуда еще остается ей желать; тогда только и возможна она, когда пробуждают ее от полузабытья ее, заставляют быть деятельною, предприимчивою.

Ничего этого в Гурове нет; он как будто не понимает этого необходимого закона любви, как будто не сознает, что любовь нужно поддерживать, подстрекать, иначе она умрет, зачахнет при самом своем рождении -- могу ли же я любить этого человека?..

А между тем странное дело! каждый день собираюсь я высказать ему все это, разуверить его -- и никак не могу решиться, и едва соберусь с духом и хочу говорить -- не могу, язык немеет, слова, как нарочно, не являются на мысль, и поневоле откладываю попытку до другого раза. А другой раз опять та же история! однажды даже я довольно твердо сказала ему: "Николай Григорьич, мне нужно откровенно поговорить с вами", -- а между тем и сама не понимаю, как это сделалось, заговорила совсем о другом -- о погоде, о стихах и все по-прежнему осталось в положении неизвестности.

Хоть бы кто-нибудь дал мне совет, помог мне выйти из этого тяжелого положения, а то, право, я так запугана так оробела, что и под венец меня поведут, а я ни слова не вымолвлю! Один человек мог бы разбудить меня, одним словом мог бы разрешить все мои недоумения, но он не хочет сказать это слово, он сам так нерешителен, что за ним бы надобно приставить няньку, указывать ему каждый шаг, чтоб он не споткнулся и не упал. И вот мы оба страдаем, оба мучимся, потому что давит нас какой-то тяжкий кошмар, который оковал все жизненные силы наши!

И отчего он так чуждается меня? отчего так заботливо избегает моих взоров? зачем, к чему все это, боже мой? Зачем не объясниться, не сказать раз навсегда, что нужно забыть эту несчастную любовь, что она ни к чему не ведет, что ее нет? По крайней мере, я знала бы, чего мне держаться; я не надеялась бы! А то -- и да и нет, и люблю и не люблю -- бог знает, что это за страдание!

Боже мой, боже мой! ужели же эта минута, в которую мы оба так вполне, так совершенно были счастливы, не оставила после себя никакого следа? ужели все это упоение, все это счастие было только обманом расстроенного воображения, а на самом-то деле все оставалось по-прежнему темно, холодно, пусто?..

С какою невыносимою грустью перечитываю я те страницы дневника, где я описывала свое счастье! И что за безумие было думать, что может выйти что-нибудь путное из этой больной любви, и можно ли быть таким ребенком, предаваться таким детским, несбыточным мечтам, зная эту неестественную слабость, это страшное отсутствие всякой энергии!

А я уж было совсем устроилась в этой тихой, уединенной жизни и так хорошо распорядилась ею, распределила каждою минуту ее, ничего не оставила, ничего не забыла: и был у меня тесный

кружок друзей, были дети... какое безумие, какое простодушие! Я сама была ребенком, когда мечтала об этом, когда так искренно предавалась увлекавшей меня волне счастья!

Но я узнала теперь всю глубину этой позорной, постыдной безжизненности! Сегодня улучила я наконец минуту, когда Гуров говорил о каких-то делах с отцом, чтоб объясниться с Нагибиным.

Он сидел один в беседке и так углубится в чтение какой-то книги, что и не заметил сначала, как я вошла и села подле него.

-- Насилу-то я вас поймала, Андрей Павлыч! -- сказала я, -- вы, право, сделались как-то неуловимы с некоторого времени. Думаешь, вот улучила наконец минуту, вот поймала -- смотришь, а вас уж и нет! вы или с отцом говорите, или около детей; какая на вас напала вдруг странная охота распространять просвещение!

Он смутился и ничего не отвечал; видно было, что такое неожиданное нападение мучило его, и он ждал только случая, чтоб снова ускользнуть из рук моих.

-- Что ж это вы бегаете от меня? что вы всякий раз опускаете глаза, когда я смотрю на вас? с которого времени сделалась я так страшна, Андрей Павлыч? с которых пор мое присутствие так тяготит вас?

-- Да я никогда не избегал вас, Татьяна Игнатьевна, -- проговорил он, запинаясь на каждом слове, -- я боялся помешать вашему счастью.

-- Моему счастью? позвольте узнать, с кем это? Это очень любопытно!

-- Да с Николаем Григорьичем!..

-- А, с Николаем Григорьичем! Скажите пожалуйста... Я и не подозревала!.. Так вы боялись помешать моему счастью? Какой вы, право, добрый, Андрей Павлыч!

И я посмотрела на него, ожидая ответа, но он опустил глаза в землю и молчал.

-- И долго вы намерены продолжать свое доброе дело, долго вы намерены меня мучить? Объяснитесь ли вы, наконец? будет ли когда-нибудь предел вашим сборам? а?.. Да скажите же что-нибудь, Андрей Павлыч!

-- Право, я не знаю, чего вы требуете от меня, Татьяна Игнатьевна.

-- Чего я требую от вас, чего я хочу? Ах, боже мой, и вы до сих пор не догадались, бедное, невинное дитя! Да я требую от вас вашего же собственного счастия, я требую, чтоб вы сбросили с себя эту искусственную мертвенность, которою вы сами сковали все чувства свои, я требую, чтоб вы ожили!.. И вы спрашиваете, чего я хочу; а я столько раз говорила с вами об этом -- и вы до сих пор не догадались!.. Полноте, Андрей Павлыч, зачем же так открыто, так грубо лгать?

-- Да коли это невозможно, Татьяна Игнатьевна, коли все, что вы хотите истребить во мне, так тесно слилось с моею природою?..

-- А кто вам сказал, что мертвенность есть принадлежность вашей натуры? Ведь вы же сами выдумали это, Андрей Павлыч! А если вы так легко могли себя уверить в этом, то точно так же можете уверить себя и в противном -- ведь это так мало стоит для вас, которые действуете только по указаниям рассудка, ведь вам стоит только слово сказать этому непогрешающему судье -- он,

право, такой добрый, такой благонамеренный в искусных руках ваших, что мигом разобьет в пух и прах все это шаткое здание убеждений и доказательств, которое еще за минуту с таким жаром отстаивал.

-- Ах, Татьяна Игнатьевна! зачем же смеяться над тем, что составляет и счастие и несчастие, и славу и позор человека?

-- Скажите просто -- несчастие и позор. Зачем тут примешивать славу и счастие?

-- Затем, что оно так на деле, Татьяна Игнатьевна; затем, что я не могу жить иначе, нежели живу, рассуждать иначе, нежели рассуждаю. Коли хотите, я первый соглашаюсь с вами, что рассудок и один рассудок -- это односторонне, это неполно, да в таком-то полубытии, в таком-то противоречии рассудка и жизни и заключается источник всего моего счастия и всего моего несчастия. Разве я виноват хоть сколько-нибудь в этой односторонности? разве я виноват, что рассудок мой противоречит чувству, а не умеряется им?.. ведь меня не спрашивали, какие условия жизни желал бы иметь я, когда родился я на свет; мне заранее дали уже готовые условия, готовую средину, для меня же собственно предстоит только одна забота -- забота, как приспособить жизнь свою к этой односторонности, как вынесть из нее возможно меньшую сумму зла.

-- И вы... устроились, Андрей Павлыч?

-- Да; по крайней мере, я старался...

-- Верно, вы много старались, что так блистательно успели в этом?.. и вы довольны собою?..

-- Кто же вам говорит, Татьяна Игнатьевна, что я доволен своим положением? зачем приписывать мне мысли, которых я никогда не имел? И не доволен, да будь доволен -- что ж с этим делать?

-- Да, в самом деле, делать нечего. Ну, и односторонность-то эта -- кто же в ней-то виноват, Андрей Павлыч?

-- Ах, боже мой! да как же мне объяснить вам? это так уж есть, это в воздухе.

-- Следовательно, уж и помочь этому нельзя, стало быть, нечего и говорить об этом! Так, что ли, Андрей Павлыч?

Он задумался и долго не отвечал мне.

-- Да что ж делать, что предпринять мне? Научите меня, Татьяна Игнатьевна, если можете! Чем же виноват я, что беспрестанно ускользает от меня эта середина, которой я добиваюсь? что ж делать, если нет другого выхода -- или быть вечным юношей или преждевременным стариком, или сжечь и разрушить, или оледенить и заморозить все...

И он сказал это с видом такого глубокого отчаяния, что слышно было в звуках его голоса, как тяготило его самого это безвыходное противоречие; но я как-то зла была в эту минуту, я чувствовала потребность вылить наружу всю желчь, которая мало помалу накоплялась в сердце моем.

-- Итак, решительно нет для вас никакого спасения, Андрей Павлыч? -- сказала я.

-- Нет, решительно нет; по крайней мере, я не вижу, -- отвечал он более спокойным тоном, -- это необходимо, и я должен покориться закону необходимости.

-- Необходимость? И, полноте, Андрей Павлыч! может быть, на вашем языке это так зовется, а попросту-то, знаете ли, как называется подобный закон?

-- Позвольте узнать, -- сказал он, насмешливо улыбнувшись.

-- Да просто, трусостью.

-- Что ж, коли хотите, я с вами не совсем несогласен...

-- А! вот как!..

-- Да, потому что дело не в слове, а в понятии, которое оно выражает.

-- Стало быть, вы просто трус, Андрей Павлыч!

Он смутился; но это смущение было так мгновенно и так быстро уступило место самому твердому спокойствию, что нужно было вглядываться в его лицо с таким напряженным вниманием, с каким я вглядывалась, чтоб заметить эту краску, которая на одну минуту показалась и скрылась на щеках его.

-- Коли хотите, -- сказал он, -- есть разница между обыкновенным трусом и человеком нравственно обессиленным вследствие горестного сознания невозможности и даже неразумности борьбы с необходимостью. Впрочем, если вам непременно угодно, чтоб я был трусом, я и на это согласен.

-- Итак, все кончено между нами, Андрей Павлыч, и мне нужно будет выйти замуж за Гурова?

-- Ах, боже мой! право, я не знаю! Как же я могу что-нибудь сказать вам за или против?

-- Да нет, скажите, мне нужно. Чего же ждать? чего жалеть?.. уж лучше разом кончимте разом, Андрей Павлыч! Это последняя моя просьба; вы будете спокойны, я не стану вам больше надоедать...

И я чувствовала потребность выйти из этого тягостного положения, разрешить хоть чем-нибудь эту неизвестность, а вместе с тем желала отдалить приближение роковой минуты и как смерти ждала и страшилась его ответа.

-- Ах, чего вы от меня требуете, Татьяна Игнатьевна! -- сказал он, спустя несколько секунд, -- в свою очередь, спрошу я у вас, -- неужели вы из всех моих разговоров ничего не поняли? неужели ваше чувство так закрыло глаза вашему рассудку, что вы не видите, что меня мучит, какой червь гложет мое сердце?..

-- Так вы меня любите? -- спросила я.

Он молчал.

-- Что ж, не любите вы меня, Андрей Павлыч?

Но он опять не отвечал на мой вопрос; наконец мне не стало более силы, глухое рыдание невольно вырвалось из груди моей, и, едва удерживаясь на ногах, вышла я вон из беседки. Я

видела, что он как будто сделал движение, чтоб удержать меня, видела что он также встал со скамейки; но когда, прошедши несколько шагов, я обернулась, он уж по-прежнему сидел на месте и читал свою книгу.

Итак, вот конец всем моим предположениям! Итак, мне нужно выйти замуж за Гурова, нужно покориться закону необходимости! Право, так! ведь это он сказал, это слова его! Что ж! покоримся ей; пусть будет она помыкать нами, если мы сами ничего не можем, если мы простые марионетки без души, без воли, без чувства! И как легко будет жить потом -- надо только убить, заморить всякую искру чувства, уничтожить сознание бытия, а потом даже и рассуждать ненадобно, только вовремя поднимай руки и ноги, вовремя кивай головой и проч., а там все само собою устроится! Что за чудная, что за спокойная жизнь!

И грустно смотрю я на эти строки, которые каких-нибудь десять дней назад писала рука моя, диктовало полное упоения и радости сердце... и всё мне хочется вычеркнуть их, вырвать и бросить куда-нибудь дальше, чтоб не напоминали они мне моего улетевшего счастия! И к чему вы теперь, дорогие, полные благоуханной любви, строки? Оно уж прошло и не возвратится никогда, это волшебное время любви, и по-прежнему стонет и ноет мое бедное сердце, и по-прежнему раскрылись едва зажившие раны его!

ОТ НАГИБИНА К г. NN

Знаю я, что советовать в этом деле постороннему человеку нельзя, что лучшие тут советчики -- собственный рассудок и обстоятельства; коли хотите, скажу вам даже, что я и не послушал бы ваших советов и по-прежнему оставался бы в нерешимости, по-прежнему бы висел на воздухе. Что ж прикажете делать? бывают обстоятельства, которые приводят человека в положение такого странного оцепенения, что он, как будто чувствуя, что никакая внутренняя сила не в состоянии разбудить его, по невольному инстинкту ищет, чтоб что-нибудь внешнее вызвало его из этого несносного страдания, жалуется на свое положение, просит советов, хоть знает, что никакие советы не могут иметь тут силы.

В таком именно положении находился я, когда просил вас помочь мне; в таком положении, если еще не в худшем, нахожусь я и в настоящую минуту. Я убит, я не в состоянии не только действовать, но и рассуждать; я решительно ничего не понимаю, что я, наконец, такое, к чему я, зачем я, как будто бы назло и себе и другим существую!

Вообразите себе человека, умирающего от голода. Бледный, едва укрытый лохмотьями своего рубища, лежит он на голом полу и издыхает, как никому не нужная собака, в предсмертных конвульсиях; в двух шагах от него рассыпаны бессметные сокровища, в двух шагах от него проходят люди с веселием и песнею на устах; но он ничего не видит, не видит, что у него есть все под рукою, чтоб утолить голод, не оскорбляется слух его веселием ликующей толпы, равнодушно смотрит он, равнодушно прислушивается ко всему, как будто не его и дело, как будто не о нем и речь идет. Он создал себе свой особый кумир; ему с детства вбивали в голову, что это так есть, что иначе и быть не может, одному жизнь, другому смерть, и он не противится, он скорей согласится умереть с голода среди довольства и роскоши, но не осмелится оскорбить свой кумир. Идет мимо

прохожий и говорит ему "Безумный человек! зачем же непременно хочешь ты умереть, когда все зовет тебя к жизни? посмотри, оглянись вокруг себя! перед тобою, как перед законным властелином, земля разверзает недра свои; тебе лучшие дары, лучшие силы ее; на тебя рассыпает солнце лучшие лучи свои; перед тобою склоняется вся природа, ты все имеешь, все, что может составить счастье и наполнить жизнь человека! встань и живи!" И светлая мысль озаряет на минуту мысль бедного страдальца, и хочет он встать, и хочет жить, и усиливается подняться на ноги, и медленно простирает изможденную руку... Но, увы! тщетны все усилия его -- он чувствует, как гнездится уж смерть в окостеневшем сердце его, как крадется и ползет она, как змей, по всем жилам его существа; вот уже коснеет язык его, вот помутился и померк умоляющий взор, вот и весь он вздрогнул и вытянулся -- и все стихло и смолкло вокруг него, и слышится только неведомый, но страшный голос, говорящий над ним: "Смерть ему, слабому, неразумному слепцу, ибо многое было дано ему, и от всего добровольно отказался он, сам потушил в себе свет разума, данный ему природою, и осудил себя на вечную ночь, на вечную тьму!"

Не таково ли же точно и мое положение, друг мой? не умираю ли я от апатии и равнодушия среди жизни и любви, как тот несчастный от голода -- среди довольства и пресыщения? И я чувствую, что умираю, чувствую, что эта неестественная борьба рассудка и жизни втягивает в себя, как в бездонную пропасть, лучший сок моего существа, и добровольно сознаюсь, что и мне, как тому несчастному слепцу, можно сказать. "Безумный! тебе дано было много, и ты от всего отказался, над тобою сияло в вечной красоте своей светлое солнце, но ты укрылся от лучей его и предпочел им тьму и холод сырой пещеры; вокруг тебя ключом била и блестела вечно юная, вечно неувядающая жизнь; но ты отвернулся от нее, ты проклял все, что носило на себе печать жизни, ты создал себе свой особый мир, который наполнил порождениями своего мнительного рассудка, и заперся от всех с этими холодными, мертвыми призраками; ты всю жизнь свою исповедовал одну только доктрину, доктрину смерти. Безумный! опомнись; не время ли перестать возиться с фантомами? не время ли начать новую жизнь?"

Чувствую всю правду этих слов, желал бы возвратиться снова к этой жизни, полной предрассудков, но вместе с тем обаятельной по полноте юношеского увлечения, по доверчивости к самой себе, которые сопутствуют ей; но уже поздно, потому что слишком забит во мне этот страстный огонь юности, слишком огрубела и затвердела кора сомнений и противоречий, которая давит и гнетет мое сердце.

Помните ли вы, в одном из моих писем я упрекал вас в идеализме, в непонимании действительности? Я говорил вам, что вы, с своим всеобщем, всевосполняющим законом любви, которому хотите подчинить все сущее, создаете себе призраки, которые мешают вам бодро и смело взглянуть в глаза действительности, разобрать одну за одною все сокровенные, стихийные части ее. Как подумаю теперь и обсужу это дело по совести, то все эти упреки едва ли не более относятся прямо ко мне, нежели к кому-нибудь другому, потому что я целую жизнь свою гонялся за действительностью, целую жизнь объяснял ее себе, без отдыха преследовал этот необъяснимый феникс, беспрестанно исчезающий и беспрестанно возрождающийся, и не мог объяснить, не мог понять его. Коли хотите, и я понял действительность, да только в исканиях-то своих немного ошибся в расчете и, вместо того чтоб итти прямым путем, взял немного вкось, может быть, вправо, может быть, влево - только действительность-то моя вышла совсем другая, нежели действительная действительность и вышло, что я тоже создал себе воображаемый мир, в котором все устроил по-своему, а теперь и жалуюсь, что мне тяжко жить, что я, как Вечный жид беспрестанно преследовал и старался постичь жизнь, и все-таки пришел к одной смерти. И с горечью вспоминаю я, как некогда воображал себе, что я человек воли, человек действия... вздор,

мечтание все это, друг мой! для того чтоб действовать, нужно иметь страсти, нужно иметь крайности, предрассудки, а у меня давно уж и следа нет ни того, ни другого, - я так много уничтожил, до такой степени все разоблачил и обнажил, что ничего не оставил себе на забаву и утешение, и хожу один-одинешенек среди этого всеобщего разрушения. Да, мои силы до того парализированы, что я могу только созерцать, могу только наблюдать за жизнью, но не жить; сознание свободной, естественной жизни до того полно во мне, что оно ослепило меня своим блеском, поглотило собою все существование, и я, как пораженный, остановился перед величественным образом мною самим вызванного из праха мира и до того забылся в этом оцепенении, что бесплодное созерцание жизни принял за действительную жизнь.

Право, иногда так горько, так жутко приходится, что я невольно помышляю о смерти. И в самом деле, если рассуждать хладнокровно, кому я нужен, какую могу я принести пользу? Наконец, если даже отложить в сторону общество и людей, если даже совершенно заключиться в одном своем эгоизме, то для себя-то собственно что могу я сделать? не представляется ли мне жизнь скорее нестерпимым игом, нежели радостью и благом? Потому что, если хотите, я и теперь ведь не живу, и теперь я мертв, только эта смерть медленная, мучительная, минута за минутою отравляющая человека: не лучше ли же разом покончить с собою, нежели это тихое, систематическое самоубийство? И на это-то вовсе не надобно особенной силы духа, и я вовсе не хочу выставить себя героем, выказывая вам эту мысль. Откровенно скажу вам: геройство, по-моему, вещь подозрительная, вещь столько же несуществующая, как и трусость. Всеми нами управляют обстоятельства, все мы не что иное, как послушные и покорные рабы необходимости, и поэтому величайший герой делается трасом в таких обстоятельствах, где трус делается величайшим героем: все зависит от характера самого обстоятельства, от развитости человека, от положения его в обществе. В наше время для того, чтоб прослыть трусом, нужно иногда гораздо более храбрости, нежели для того, чтоб хладнокровно подставить под пулю свой лоб, когда того непременно требуют условия общественной жизни. Итак, тут на самом деле нет с моей стороны ни трусости, ни храбрости, а есть просто сознание невыносимой тяжести и даже ненужности жизни при известных условиях. Может быть, и даже вероятно, что я и ошибаюсь; но в иные минуты нельзя рассуждать хладнокровно, в иные минуты здравый рассудок как будто назло оставляет человека, а это именно большею частию тогда и сличается, когда он всего более нужен. Вы скажете мне, быть может, что жизнь благо, данное нам природою, благо, которым мы не можем располагать; что каждый из нас имеет свое назначение, которое он должен выполнить?.. Знаю я все это и первый сознаю справедливость таких доводов, но ведь вы забываете при этом -- обстоятельства, а они-то и управляют нами, они-то и делают так, что все эти прекрасные мысли как-то исчезают при одном приближении гнетущей действительности.

Что же касается до назначения, которое каждый из нас имеет, то я вам скажу, что большая разница между "имеет" и "должен иметь". Говоря a priori, каждый из нас действительно имеет свою особую, ему одному только свойственную роль, которою он должен выполнить в жизни, роль, с невыполнением которой решится чудная гармония стройного общественного целого; но присмотритесь ближе к этой беспрестанно движущейся, нестройной массе людей, и вы убедитесь, что все эти назначения как-то странно перемешались, что тот, кому природа, казалось бы, дала все, чтоб быть великим мыслителем великим государственным человеком, в действительности тачает весьма дурные сапоги или управляет с козел измученною парою лошадей; вы увидите, что некоторые забрали на свою долю слишком много назначений, а другие вовсе остались без всякой определенной роли, живут со дня на день и клянут ту несчастную минуту, в которую увидели они свет. Вот этим другим-то -- а их очень много -- что ж остается делать, если они притом еще сознают эту неуместность, всю ненужность их жизни?..

Когда-то мне рассказывали, или я читал где-нибудь, что жил на свете человек, который умер от одного того, что потерял свою тень; если в подобном случае возможна смерть, то тем более возможна она, когда человек не находит смысла и цели жизни, когда человек вдруг узнает, что он обронил где-то или у него украли его назначение, что будет несколько поважнее потери тени.

Обращаясь лично к себе, я нахожу такую странную дезорганизацию во всем существе своем, что с ужасом отступаю от своего будущего, которое обещает мне только горестный ряд преследований и лишений, лишений ничтожных и мелких, если хотите, но тем не менее беспрестанных и безотвязных, от которых никакая сила не освободит вас, с которыми нельзя бороться -- до того они неуловимы, до того ничтожны. Еще если б меня ждало какое-нибудь сильное несчастие, какое-нибудь явное, наглое преследование со стороны судьбы, это вызвало бы, по крайней мере, мои дремлющие силы, это очертило бы передо мною особую сферу, в которой я мог бы действовать, мог бы, наконец, чувствовать, что я живу; но нет: меня ждут умеренность и аккуратность, две большие добродетели, коли хотите, но в которых скорее слышится отрицание жизни, нежели жизнь. Да, я глубоко, сознательно несчастен, несчастен тем более, что даже имею достоверность, что нет выхода, нет спасения мне от гнетущего меня страдания, что я заперт в каком-то сказочном доме без дверей и окон, и не проникнет никогда в эту холодною темницу радостный луч солнца надежды.

Но более всего сокрушают меня непрошеные сожаления, непрошеные советы перемениться, сбросить с себя искусственную будто бы мертвенность, которою я оковал все существо свое. Искусственная мертвенность! Да, коли хотите, она искусственна, и во всяком случае не нормальна: разве я стою за это? разве я говорю противное? Да назовите мне, ради бога, хоть что-нибудь, что было бы не искусственно, назовите хоть одно отношение, хоть одно побуждение, за которое можно было бы поручиться, что оно нормально! Дело в том -- и этого никак понять не хотят, -- что на свете искусственность одна только и натуральна, а естественность, напротив, совершенно неестественна, тысячу раз повторял я, что человек сам по себе ничто, пустое отвлечение, покуда не выразится во внешности, которая, как масса живая и деятельная, в свою очередь обусловливает его действия; тысячу раз говорил я это, да меня понять не хотят, убеждают переделать себя, быть иным... Такие несносные увещания терплю я каждый день со стороны известной вам особы, и, признаюсь, это начинает меня наконец тяготить! Надо вам сказать, что намерения Гурова на Таню вовсе не были шуткой, как мы предполагали, а выразились весьма обстоятельно в форме пламенного письма, которое он адресовал, как человек смышленый по-своему и понимающий все значение власти родительской, на имя дражайшего Игнатия Кузьмича. Дело в том, что Гуров и Таня помолвлены так неожиданно, так внезапно, что бедная совсем потерялась и оробела: беспрекословно и машинально дала она свое согласие на этот брак, потому что не знает, что ей делать, не знает, чего держаться, не уверена, буду ли я в состоянии представить ей надежную опору в случае ее сопротивления. Конечно, я чувствую, что и в этом случае виноватый, хотя и безвинно, один только я; но что ж делать мне? На днях она требовала от меня, чтоб я решительно, без оговорок, сказал ей, люблю я ее или нет. Скажите же на милость, не мучение ли это! Ведь она довольно меня знает, чтоб понять, что и без того я страдаю от неопределенности своего положения, что это-то и составляет кошмар моей жизни -- а между тем хочет, чтоб я решительно объяснился! Да что ж я могу сказать ей? Что я ее люблю -- и это будет верно, что я не люблю ее -- и это справедливо! Она никак не может предположить себе возможность современного существования столь противоположных крайностей, не может понять, что если я и действительно люблю ее всеми силами души, то тем не менее сознание неразумности этой любви, при наличных условиях жизни, так сковало меня, что я стою, как пораженный громом, и желал бы отдаться влечению своего сердца, и не смею противиться

слишком ясным указаниям рассудка. Любовь-то, коли хотите, во мне есть, но она не может выйти из пассивного своего состояния; она всегда останется на степени понятия чисто нравственного, отвлеченного.

Но вы мне скажете, может быть, что и сами видите тут необъяснимое противоречие -- да разве я отказываюсь от этого? разве я называю это гармонией? В том-то и дело, что противоречие это необходимо проистекает из самой природы вещей, оно действительно есть и, следовательно, напрасно стал бы я противиться такому порядку вещей: он есть, и этого уже достаточно для оправдания его! А между тем, ведь есть же люди, которые упрекают действительность в неестественности и, наконец, изъявляют наивное желание, чтоб она исправилась, чтоб вела себя лучше, как будто она может сделаться иною, нежели какая она на самом деле!

Иногда, видя всю безотрадность своего положения, и рад бы я иначе жить, иначе мыслить, да ведь закона никто сам себе создать не может, никто не может сказать себе: поступай так, а не иначе, потому что для этого нужно бы наперед знать каждую минуту жизни той средины, в которой действуешь, а затем и каждую минуту жизни вселенной, которая, в свою очередь, обусловливает первую и которая ни на одно мгновение не остается одною и тою же и никогда на себя не похожа. Потребности, мой милый, никогда не являются по востребованию -- взял да и создал себе такую-то и такую забаву: они даны нам вместе с организмом нашим и вызываются внешним миром, который не рождает новых, небывалых желаний, а только развивает, дает жизнь тому, что доселе существовало не более как в отвлечении.

Но вы, может быть, остановите меня, друг мой, вы возразите мне, что с таким началом покорности существующему порядку вещей падает всякая вменяемость, освящается всякое преступление, что после этого каждый злодей, присужденный на казнь, имеет полное право спросить общество, зачем оно не предупредило его злодеяний, зачем оно не дало его деятельности полезного направления, зачем развратило и унизило его, зачем не дало ему средств к жизни и сделало для него злодеяние привычкой и так далее, до бесконечности. Вы скажете, что таким образом можно все оправдать, все подвесть под закон необходимости. Вот чрезвычайно естественные вопросы, которые, впрочем, решительно ни к чему не ведут. Все, отвечаю я, решительно все оправдывается, мой милый, и без единого исключения -- оправдывается и общество, которое наказывает преступника, несмотря на столько извиняющих его обстоятельств, потому что и оно разве не вправе отвечать ему: "А как же я могу предупредить твои злодеяния, как могу я дать тебе средства удовлетворить твоему назначению, когда нет у меня этих средств? Поди же прочь и клади на плаху свою голову!"; и общество и преступник будут правы, все будут правы, друг мой, и нигде не найдете вы виноватого!

А самое худое в этом деле -- то, что когда я обдумываю эту безвыходную коллизию, мне невольно приходят всегда на мысль слова старого разбойника, о котором я где-то читал и которому поднесли едва отсеченную, еще дымящуюся в крови голову, сказав, что это голова его сына; "мой сын, отвечал он, имеет не одну голову".

Но при всех этих оправданиях, при всей неуклончивости и совестливости такого взгляда на жизнь, мое личное положение вовсе не делается сноснее и легче; сам-то я все-таки не живу, а созерцаю, потому что для того, кто вполне предается наслаждению жизни, ненужно оправдания действительности, -- скажу более -- оправдания и объяснения находятся в прямом противоречии с жизнью, исключают ее.

Представьте себе такого человека, которому при рождении дано было бы свойство, что к чему бы ни обратился, на что бы ни взглянул он, все мгновенно разлагалось бы перед ним на стихийные свои части. Конечно, как умный человек, он не мог бы не видеть в этой сложности всякого живого организма многознаменательного и премудрого закона природы, он не мог бы не оправдать ее, но тем не менее положение его было бы ужасно, тем не менее человек этот должен бы был от всего отказаться, потому что для него не существовало бы строя, не было бы красоты, везде видел бы он грубую груду самых уродливых элементарных частиц -- в картине Брюллова увидел бы он только краски, полотно и масло, перед глазами его исчез бы этот могущественный синтез, который из нестройной массы материалов создает стройное целое, творит неумирающее чудо красоты. Так точно и в моих глазах до того раздробляются, размельчаются все явления жизни, что я могу объяснить себе их, могу оправдать их разумность и соответственность причин результатам, но жить все-таки не могу, потому что слишком смело снял покровы, закрывавшие действительность, слишком обнажил пружины, двигающие ее.

Да и это было бы еще ничего, и с этим можно бы кое-как помириться, если б я остановился на объяснении себе действительности -- а то ведь оно служило мне только как отправный пункт, из которого я пошел далеко вперед, от которого, идя шаг за шагом по горячим следам развития человечества, я пришел к признанию другой действительности, -- действительности не только возможной, но непременно имеющей быть. Вот это уж окончательно сбило меня со стези жизни, окончательно убило во мне всякую возможность свободно и легко предаться влечениям природы своей! И когда я сопоставляю эти две действительности, столь между собою несходные, хотя и та и другая носят в себе те же семена жизни, тогда я вполне несчастлив, тогда мне делается несносно и тяжело жить, и невольно приходят в голову самые черные мысли. Не сопоставляй я этих двух несовместных друг с другом противоположностей, существуй для меня одно какое-нибудь из двух представлений действительности, я был бы вполне счастлив был бы или нелепым утопистом, вроде новейших социалистов, или прижимистым консерватором, -- во всяком случае, я был бы доволен собою. Но я именно посередке стою между тем и другим пониманием жизни: я и не утопист, потому что утопию свою вывожу из исторического развития действительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, а живыми людьми, имеющими плоть и кровь, и не консерватор quand <нрзб> [во что бы то ни стало (франц.)], потому что не хочу застоя, а требую жизни, требую движения вперед. Это, если хотите, самый верный взгляд на вещи, но так как у меня отняли всякую возможность действовать в этом смысле, так как мне заранее известно, что этот взгляд должен навсегда -- по крайней мере для меня -- остаться только взглядом, и никогда не может быть приведен в действие, принять плоть и кровь, то и выходит, что я, отказавшись от утопии и отвернувшись от statu quo [настоящего положения (лат.)], повис на воздухе между тем и другим и чувствую всю верность моих понятий о действительности, а между тем шага не могу сделать в ней, чтоб не споткнуться и не упасть.

И эта неопределенность моего положения повергает меня иногда в такое глубокое отчаяние, что я спрашиваю сам себя: ужели иерархия организмов есть иерархия несчастия? Действительно, посмотрите вокруг себя, и вы увидите, что чем выше, чем сложнее организм, тем сложнее его потребности, тем сложнее изыскание средств к их удовлетворению, тем глубже несчастие... Посмотрите на низшие степени бытия -- там все само в себе находит удовлетворение, все само себе довлеет, там истинное место известной вам формуле: средства пропорциональны потребностям. Чем выше взбираетесь вы по этой бесконечной лестнице, тем более поражает вас борьба жизни с действительностью, тем более слышится тайный ропот неудовлетворения, жалоба на недосягаемость возможного счастия; наконец, человек, это последнее, задушевное слово создания, осуществляет, вместе с тем, и последнюю степень этой борьбы: целую жизнь мечется

он, целую жизнь гоняется за счастием, ищет чего-то и, наконец, разбитый, затертый, складывает с отчаяния на груди руки и не предпринимает уж ничего и смотрит равнодушно, как другие, в свою очередь, проходят мимо его, гонятся за счастием, ищут чего-то и, подобно ему, все-таки ничего не находят.

Конечно, на это есть весьма простой ответ, именно, что в натуре человека везде и беспрестанно искать и никогда вполне не удовлетворяться, что хорошо еще, если есть что искать, что наступит наконец и для человека пора счастия, когда и к нему можно будет применить приведенную мною формулу. Все это так: что настанет пора счастия, в этом нет никакого сомнения; что прирожденная человеку склонность всего доискаться, все объяснить себе -- и доказывает превосходство его организма; что, наконец, если у животных нет собственно несчастия, зато и счастия в наличности не имеется -- и это все как нельзя более справедливо; да человек-то тем не менее несчастен, тем не менее страдает, несмотря на всю неопровержимость этих доводов, и для меня, например, лично, весьма плохое утешение, что будут люди, которые будут жить цельною жизнью, когда я-то и восьмушки этой жизни не имею.

Но всего для меня несноснее, что я совершенно невинно заставляю других страдать. Вот уж почти с неделю, как Таня больна и не выходит из комнаты, потому что я не мог сказать ей, не покривив душою, что люблю ее, а Гуров целые дни ходит как сумасшедший и все спрашивает у меня советов, как ему поступить, потому что все знает про мои отношения к Тане. Надо вам сказать, что Гуров, несмотря на свою любовь к человечеству, довольно грязненькое животное; другой на его месте, зная нерасположение Тани, или отказался бы от руки ее, или, наконец, заставил бы ее любить себя, но он не хочет ни того, ни другого, не хочет отказаться от Тани, потому что хоть и ругает на каждом шагу презренное злато, однако ж, как видно, большой до него охотник; притом же ему двадцать четыре года, а в эту пору, сами знаете, и кровь разыгрывается, и воображение рисует такие соблазнительные картины. Гурову, как истинному идеалисту, непременно нужна самочка, непременно нужно существо, которое утоляло бы в нем излишний жар, -- вот он и решился приобресть эту необходимую игрушку, но приобресть без всякой с своей стороны заслуги, без всякого усилия; одним словом, он в этой спекуляции надеялся не столько на свои собственные силы, сколько на бессилие и даже вовсе несуществование других соискателей. Но когда он увидел, что место занято другим и что этот другой довольно крепко укоренился в сердце Тани, это неожиданное происшествие так сконфузило его, что он сам не знает, что делать, и ко мне же обращается за советами, и меня же просит помочь ему. Я уверен, что если это продолжится, он непременно сфискалит на нас Игнатью Кузьмичу.

Первый разговор наш, из которого я узнал, что Таня открыла ему настоящую причину своей болезни, был до того исполнен всякого рода низостей со стороны Гурова, что я не могу не передать его вам, чтоб вы имели хоть поверхностное понятие об этом человеке.

Как-то, на днях, я хотел уже ложиться спать, как вдруг кто-то постучался у дверей моей комнаты, и вслед за тем я услышал голос Гурова: "Это я, Андрей Павлыч, позвольте сказать вам несколько слов".

-- С удовольствием, -- отвечал я, -- но под условием, чтоб эти несколько слов были действительно не более, как несколько слов.

Я сел на кровать и ждал; но Гуров ходил большими шагами по комнате с нахмуренными бровями и ничего не говорил.

-- Я вас слушаю, Николай Григорьич, -- сказал я.

Он остановился передо мною и долго смотрел молча мне в глаза, наконец взял меня за руку и крепко пожал ее.

-- Я все знаю, -- сказал он с чувством.

-- А! вы все знаете! ну, я не знаю... позвольте же мне полюбопытствовать, что такое вы узнали?

-- Таня мне все рассказала.

-- А! Таня! так вы только теперь узнали? ну, так что ж?

-- Она вас любит, Андрей Павлыч, она мне сказала, что и вы влюблены в нее.

-- Она сказала вам это? Верно, не так она выразилась, Николай Григорьич?

-- О нет, в этом нет никакого сомнения. Я несчастнейший человек в мире!

-- Отчего же так? Право, я не вижу тут большого несчастия. Ну, любит она меня, предположим даже, что и я влюблен, хоть я и не гусар, и не чиновник, -- что ж вам то до этого?

-- Как что? а я-то с чем остаюсь? а мои планы, мои надежды?

-- Ваши надежды? на что, почтенный друг мой?

-- На ее любовь, на ее сердце, на обладание ею!.. И все это разбилось, все исчезло, и я один, один.

-- О, да вы делаете успехи, милый идеалист! Вы и забыли, что в безнадежности-то и шик весь идеальной любви! Обладать женщиною! фи, мой друг, как можно говорить об этом порядочным людям: оставим это грубым материалистам -- ведь так, кажется, вы называете людей, которые не довольствуются журавлем в небе, а хотят синицу в руки.

-- Вы меня не поняли, Андрей Павлыч, вы не поняли, что обладать ею -- значит обладать ее душою, значит жить ее жизнью, чувствовать ее чувством. О, это такое блаженство -- иметь подле себя существо, которому понятны все задушевные мысли, которому можно перелить всю душу свою!

-- То-то -- перелить! Эк вас разобрало, Николай Григорьич!

-- И все это рушится, -- продолжал он, не отвечая на мое замечание, -- все исчезает в ту самую минуту, когда я думал держать в руках своих это счастие, предмет лучших снов моих!

Он снова начал ходить по комнате и снова безуспешно старался придать лицу своему характер глубокого отчаяния.

-- Вы благородный человек? -- сказал он мне голосом, который усиливался сделать дрожащим.

-- Право, не знаю, Николай Григорьич; это смотря по тому, как понимать это слово; а впрочем, говорите, может быть, я и действительно окажусь тем, чем вы меня почитаете.

-- Скажите же, что мне делать?

-- Вот странный вопрос! вы просите у меня совета против меня же; это несколько ново и весьма остроумно.

-- Нет, скажите, что бы вы сделали на моем месте?

-- На вашем месте! то есть, будучи вами, в ваших обстоятельствах, с вашим положением, так, что ли?

-- Да.

-- Я сделал бы именно то же самое, что вы делаете в настоящую минуту, то есть попросил бы совета.

Он несколько смутился этим ответом, и краска негодования на минуту вспыхнула на лице его; но в следующее за сим мгновение он был уже тих и кроток по-прежнему.

-- Послушайте, Андрей Павлыч, -- сказал он, -- зачем же вы еще смеетесь надо мною?

-- Ничуть, Николай Григорьич; я отвечаю на ваш вопрос по совести, как думаю. Впрочем, чтоб вы не думали, что я забавляюсь вашим затруднительным положением, я могу дать вам еще совет.

-- Какой же?

-- Да очень простой: женитесь на ней.

-- Жениться! Да как же это, коли она любит вас?

-- Разве это что-нибудь значит? разве вы не можете своими достоинствами заставить ее забыть про эту любовь?

-- Жениться! -- повторил он машинально, -- ну, а вы-то как?

-- Что я?

-- Ну, да бывают разные случаи; я не хочу.

-- Эге! вот вы куда махнули, мой милый идеалист! Да знаете ли, вы даете мне чудесную идею в самом деле, и хорошо, и без хлопот; о, да вы гений, Николай Григорьич, вы одни можете устроивать подобные дела.

Но он облокотился на комод и задумался, закрыв для эффекта лицо руками.

-- Смейтесь, смейтесь, -- сказал он наконец, -- смейтесь, холодный человек! Вы не знаете, что такое любовь; вы не знаете, какая страшная ревность жжет мою внутренность... О, я несчастнейший человек в мире!

-- Так вам очень жалко поделиться своею игрушкою, милый ребенок! вам непременно хочется одному переливать свою душу?.. Успокойтесь, никто не будет вам препятствовать! Я и не думал никогда пользоваться вашею беззащитностью; спите же спокойно, никто не притронется к вашей собственности, рвите ее, буйствуйте над нею, сколько душе вашей угодно: всякий знает, что она -- ваше достояние, и никто не может требовать от вас отчета!

Когда я сказал это, он как будто весь переродился; в глазах его блеснула животненная радость; он все забыл, забыл и нелюбовь к нему Тани, и оскорбительный тон, с которым я сказал

последние слова свои, на лице его мгновенно исчезла вся прежняя озабоченность, пропали следы искусственного отчаяния, и все поглотилось одним чувством -- чувством зверя, добившегося наконец любимого куска, на который давно уже скалил он зубы, но который долго у него оспоривали.

-- Так вы отказываетесь? -- сказал он, задыхаясь от радости.

-- Ах, отказываюсь, отказываюсь! оставьте меня; мне спать пора!

-- За что же вы на меня сердитесь, Андрей Павлыч?

-- Я на вас сержусь? из чего же вы это заключаете?

-- Да из того, что вы не хотите быть моим другом, не хотите говорить со мною...

-- Послушайте, Николай Григорьич, да почему же вы думаете, что я непременно должен быть вашим другом? ведь у нас совершенно различные понятия -- вы любите собственность, вы хотите исключительного права обладания принадлежащею вам вещью; вы не спрашиваете у Тани, хочет ли она быть вашею подругою; вам только бы другие не обладали ею, а до того, любит ли она вас, будет ли она счастлива, -- вам и дела нет! Да вы грубее, нежели самый грубый материалист!

-- Помилуйте, Андрей Павлыч! да как же она будет любить другого? да что же я-то? с чем же я-то останусь?

-- Кто же оспоривает ваши права, кто же запрещает ей любить вас, кто отнимает ее у вас... Впрочем, что об этом говорить! это слишком длинная и сложная материя, а теперь скоро полночь, пора спать...

И я стал уж раздеваться, но он все еще не уходил.

-- Так вы точно отказываетесь, Андрей Павлыч? -- сказал он.

-- Да я ведь сказал уж вам, что отказываюсь -- оставьте же меня, мне пора спать!

-- И вы уедете?

-- Уеду, уеду, вот только пусть кончится срок кондициям, уеду; наслаждайтесь одни, не буду мешать вам.

-- Ну, а ей... я могу сказать, что вы просите ее забыть?

-- Да, можете, только при мне, а до тех пор ни слова... Слышите, Николай Григорьич, я сам хочу быть свидетелем вашего объяснения, вы обещаете ничего не говорить до тех пор?

-- Честное слово.

-- Смотрите же, сдержите свое обещание, а не то я не сдержу своего -- скажу, что все это неправда, что я из сожаления к вам отказался от любви ее.

-- Благодарю, благодарю вас, благороднейший человек!

-- Не стоит, право, не стоит.

И я уже лежал в постели и хотел гасить свечу.

-- Покойной ночи, Николай Григорьич, -- сказал я.

-- Ах, да, я и забыл, что вам пора почивать.

-- Ну, почивать не почивать, а спать действительно время, да и вам, я думаю, хочется.

-- О нет, мне не до сна... прощайте, Андрей Павлыч!

-- Прощайте, прощайте! Да будете молиться богу, так не забудьте меня...

-- Не забуду, не забуду; приятного сна, Андрей Павлыч!

И он ушел.

Но на самом деле не много я уснул в эту ночь: все мне думалось, как же я отдам эту чистую, невинную душу в руки такого гнусного, глупого человека, за что же так хладнокровно гублю я ее молодость, ее лучшие мечтания? За то ли, что она так вполне, так безвозвратно предалась мне? за то ли, что она отказывается от всего, бросает все, чтоб приковать свой жребий к моей незавидной, горестной участи? Вот что смущает меня, друг мой, вот что как раскаленным железом режет и жжет мое сердце!

И после этого -- где же благо моей жизни, где оно скрывается? Верно, уж очень далеко, что и духу его не слышно, и тени его не заметно на ровной, безотрадной пустыне жизни! Разрешите мне это, друг мой, если можете, укажите мне хоть признак, хоть едва заметную точку, на которой мог бы остановиться мой взор -- где этот оазис, которого я столько времени не могу добиться; где этот ручей, у которого я мог бы утолить томящую меня жажду? Нет, не сыщете вы мне его, не укажете мне ничего, кроме песчаной, тяжелой пустыни, кроме бесплодных, обнаженных скал!..

И какое, например, мое назначение в жизни? Уж не то ли, чтоб от меня, как от чумы, все заражалось, все гибло при одном моем приближении? Уж не в этом ли загадка и смысл всего моего существования! А право, иного я не вижу! Ох, грустно мне, грустно! Друг мой, и денно и нощно стону я под бременем тяжкого сознания безвыходности моего положения, и все-таки ничего не могу сделать!..

ОТ ТАНИ К НАГИБИНУ

Странно играет иногда нами судьба! Сводит она часто таких людей, которым, для собственного их спасения, и знать бы друг друга не нужно; и живут эти люди рядом, беспрестанно сталкиваются между собою, а между тем не знают, как покончить, как разорвать этот ненавистный союз, и клянут тот несчастный час, в который сошлись и узнали друг друга. Это положение грустно, Андрей Павлыч, потому что человек гибнет в этом недоразумении, но все же хоть как-нибудь можно объяснить себе его. Бывают случаи гораздо мудренее: бывает, что сближаются люди, которые действительно так удачно подходят один к другому, что с первого взгляда, кажется, не нужно никакого принуждения, чтоб сделать жизнь одного неполною и непонятною без существования другого, а между тем, странное дело, и у них все то же недоразумение, все та же неопределенность отношений, как и в первом случае! Коли хотите, они и сблизились, они и поняли, что созданы друг для друга, да не имеют силы, чтоб сказать это последнее слово, которое

бы сняло им с сердца тяжелый камень, как будто стоит между ними какой-то страшный призрак, наводящий ужас и оцепенение на все существо их. И бедные люди чуждаются друг друга, и готовое слететь с языка слово мгновенно застывает на губах, потому что едва успеет раскрыться сердце человека, едва успеет расцвести и наполниться радостью все существо его, уж он тут, он стережет все движения его, этот бледный призрак, этот вечно бодрствующий спутник его жизни, и вмиг слетает радость с лица, и туча забот и сомнений зароится там, где, за минуту перед тем, все дышало блаженством и упоением.

Между мною и вами происходит именно такое недоразумение. Вы любите меня, я знаю это, и какие бы ни приводили вы мне против этого доказательства, я все-таки буду убеждена, что вы меня любите; я слышу любовь в вашем голосе, вижу ее в глазах ваших; каждое ваше движение, даже самая настойчивость уверить меня в противном, доказывают мне существование вашей любви. Итак, вы любите и между тем боитесь признаться себе в этом, и оба мы страдаем, оба мучимся, потому что нет у вас веры в меня, нет между нами откровенности!

Скажите же мне, что сковало ваш язык, что оледенило ваше сердце? Вы приводите мне тысячи доказательств, что любовь для вас невозможна. Какое ребячество, Андрей Павлыч! -- стало быть, возможна, коли она есть! Зачем же мучить себя? зачем беспрестанно забегаете вы мыслью в будущее? зачем взвешиваете каждое чувство свое? зачем за вами следит неотступное: "что будет?".

Что будет! Мало ли, что может быть! Может быть и горе, может быть и радость -- будет горе, и тогда успеем нагореваться, друг мой. Что будет! да ведь знаете ли, к чему приведет это заглядывание вперед? оно приведет к тому, что вы увидите утопающего человека и не спасете его, при всей возможности спасти, потому что жизнь его, может быть, преисполнена несчастий и лишений, и, следовательно, спасение послужит только к тому, чтоб вновь возвратить его осаждающим со всех сторон преследованиям.

Вы хоть бы то взяли во внимание, что меня-то вы совсем измучили своею нерешительностью, что я страдаю, что я действительно больна и телом и душою. Вникните в мое положение, поймите, сколько муки должна я терпеть в эту минуту! Любить вас, быть вами любимой, ощущать приближение счастия и видеть, как оно исчезает в ту самую минуту, когда касаешься до него руками, -- вот истинное бедствие, которое сильнее всех возможных цепей и темниц!

Некогда я страдала от неполноты жизни; сердце мое как будто просило и ждало чего-то, что могло бы дать смысл и разгадку моему существованию. Я увидела вас, и мне стало понятно все, чего так жадно искало все существо мое, и я определила себе наконец это нечто, которое висело надо мною и не давало мне ни днем, ни ночью покоя. И что ж? дальше ли я ушла от этого? счастливее ли я? что нужды, что я узнала на минуту, что такое счастие? вокруг меня все тот же холод, все та же пустота, и отчего? -- оттого, что между мною и человеком, в руках которого вся моя жизнь, стоит глупое пугало, которое он сам себе выдумал!.. Ну, не грустно ли это?

А знаете ли что? вы часто говорили мне, что вся ваша жизнь должна быть посвящена изысканию истины (это даже, по-вашему одна из причин невозможности для вас любви), следовательно, открытие ее должно бы радовать вас, а я уверена, что если б вам давали на выбор, с одной стороны, готовую истину, а с другой -- удовольствие отыскивать ее, вы бы выбрали последнее -- до такой степени срослась с вашей натурой потребность резонерства, до такой степени замерло в вас всякое светлое чувство жизни!

Часто думаю я, что будет из всего этого, какая участь ждет эту борьбу любви с бессилием, и, признаюсь вам, не могу дать себе никакого ответа на все эти вопросы. Со всем можно бороться, всего можно достигнуть силою воли, неутомимым преследованием, но бороться с бессилием, но преследовать ничтожество... согласитесь сами, ведь это значит тратить жизнь свою на воздух, значит заранее обречь себя на вечное стремление, вечное желание, а вместе с тем и на вечное недостижение желаемой цели!

Зачем же мы узнали друг друга! зачем мы встретились! -- вот еще вопросы, на которые тоже напрасно стала бы я искать ответа. Я сама сознаюсь, что лучше бы нам идти каждому своею дорогой, лучше бы не мешать друг другу, но ведь мы встретились, это дело конченное; следовательно, тут нечего рассуждать, что было бы, если б мы не знали друг друга... Мы встретились, следовательно, нужно принять все последствия этой встречи!

Вспомните, что была я до вашего приезда, вспомните, какими людьми была я всегда окружена; представьте, одним словом, себя на моем месте, со всем моим прошедшим, и скажите тогда, положа руку на сердце, могла ли я не любить вас, могла ли не привязаться к вам всеми силами души моей? Одно ваше появление среди этих людей было для меня так же радостно, как радостен луч солнца для томящегося в темнице, как радостна кружка воды для усталого путника. От вас услышала я первое человеческое слово, вы дали всей моей жизни смысл, в вас я должна была видеть все; до вас я сама не понимала хорошенько, что я такое... И вдруг очарование мало-помалу исчезает, идеал незаметно сходит до степени обыкновенного смертного, все, что прежде представлялось в таких огромных размерах, так оскорбительно уминьятюривается, так обидно суживается, что, право, не веришь глазам своим и спрашиваешь себя, неужели это то самое существо, к которому, еще за минуту перед тем, приближалась с таким благоговением, о чем томилась и мечтала вся душа моя!

Я против воли пишу вам все это, но нужно же нам разорвать наконец завесу, которая скрывает нас от нас самих, нужно убедиться, что положение наше жалко и смешно, что мы, с своими правилами и убеждениями, похожи на Дон-Кихота, принимающего ветряные мельницы за рыцарей, создания праздного рассудка -- за действительность!

Помнится, когда-то вы сами, пораженные неестественностью своей жизни, с глубокою горестью говорили мне, что сами хорошенько не знаете, мертвый вы или живой человек... Вопрос этот очень натурально должен был прийти вам на мысль, хотя после всего, что я от вас слышала, после всех ваших недоумений, не может, кажется, оставаться никакого сомнения на этот счет. Вы -- или живой человек и притворяетесь мертвым, или, если вы серьезно так чувствуете, как говорите, то мертвый, совершенно мертвый, и нет для вас надежды когда-нибудь воскреснуть. Но я лучше согласна думать, что эта мертвенность случайна в вас, что она есть следствие каких-нибудь тайных, застаревшихся ран, уязвленного самолюбия, обманутых надежд и других горестей, которыми так обильно наделена жизнь бедного человека. Потому что неестественно, невозможно же ни во что не верить, потому что необходима для человека вера, как точка опоры, из которой он мог бы развивать свою жизнь; отнимите у него веру, и вы отнимете у жизни его цель и смысл, и все в нем будет так шатко и зыбко, что рушится при первом неприязненном дуновении действительности...

Видите ли, и я заразилась вашим примером, и я около вас научилась резонерствовать, и ваше же оружие против вас обращаю!

Скажите же, упрямство ли, желание ли блеснуть новизною заставляет вас так настойчиво поддерживать ваши мертвые теории, или просто не хотите вы отказаться от них, потому что горько вам сознаться, что все ваше прошедшее ложно, что все ваши убеждения, приобретенные ценою столь долгого опыта, разлетаются как дым, при первом несколько неповерхностном взгляде на них?

Но первого я никак не могу себе предположить, потому что уважаю вас и не могу подозревать в вас такое мелочное чувство. Да и притом -- перед кем хотели бы вы блеснуть? Перед простою деревенскою девочкой, не видавшею ни света, ни людей, пугливою, одичалою... я полагаю в вас столько самолюбия, что поймете, что публика слишком незавидна и не блестяща, что не стоит издерживать перед нею столько ума и способностей.

Следовательно, остается второе предположение. Постараюсь откровенно высказать вам свою мысль на этот счет.

Вероятно, вы не всегда имели одни и те же убеждения; вероятно, у вас была своя пора молодости, были другие верования, другие стремления, и вы не родились же ведь на свет с готовыми теориями, а тоже, как и другие люди, развивались, шли впереди. Скажите же мне, пожалуйста, что сделалось с этими прежними убеждениями, куда девались, куда исчезли они? Не отказались ли вы от них, как от мимолетных, хотя и сладких снов юности, во имя новых убеждений, более соответствующих настоящей степени вашего развития? А ведь и они приобретены были вами такою же тяжкою ценою, как и теперешние ваши верования, и они не дались вам даром, а выработаны вами в поте и крови лица! Для чего же вам теперь так стыдно и трудно отказаться от своих убеждений, если вы сами признаете их ложными, если вы сами чувствуете, как вы не раз мне и понимать давали, что они не дают вам жить, мешают дышать, гнетут и давят грудь вашу?

Но для того, чтоб не дать вам увернуться, я сделаю сама себе возражение, и тем легче будет это для меня, что, когда побудешь немного в вашей школе, возражения делаются привычкою и невольно сами собою являются на мысль. Вы скажете мне, может быть, что прежние ваши убеждения были не более как раздражение вашей фантазии, волнение крови, и, следовательно, вы должны были отказаться от них, как от заблуждений. Вы прибавите к этому, что теперешний ваш образ мыслей, напротив, не простое, юношеское заблуждение, а истина, основанная на здоровом свидетельстве рассудка... Не заблуждения? Кто же может поручиться в этом? Кто знает, что завтра же это здоровое требование рассудка не окажется самым юношеским заблуждением? Так, что ли, друг мой? Не правда ли, ведь все это еще неизвестно, все это требует еще доказательств. Скажите же, правильно ли рассуждает ученица ваша, сделала ли я успехи в великой науке построения силлогизмов?

Но между тем как я с вами резонерствую, сердце-то мое вовсе не довольствуется этою скудною пищею: оно просит жизни, оно живет страстью и не терпит никаких рассуждений ни о том, ни о другом. Шутки в сторону, сбросьте с себя эту тяжелую обузу, которую вы добровольно сами надели себе на плечи, не взвешивайте каждого своего движения, не подстерегайте в себе каждого рождающегося чувства! Что будет, то будет! Стоит ли так много думать об этом? Может быть, вы будете иметь много горя, зато и радость хоть на мгновение озарит вашу жизнь; теперь же, при вашей нерешительности, горе своим чередом, а радости-то и нет, радости-то и не бывало!

Вот как, мой милый, мой бесценный друг! Я знаю, вас мучит какое-нибудь затаенное горе, вас гложет какая-то старая, худо закрывшаяся рана; что ж? попробуйте хоть раз отдаться любви, этому

всеисцеляющему доктору! Кто знает, может быть, ваша бедная Таня сделает чудеса, если вы захотите?

Пишу к вам все это больная, в постели; желала бы еще многое и многое сказать вам, да не могу: голова отяжелела, сердце устало, рука не пишет а многое бы нужно передать вам!

Знаете ли что, друг мой? Не прийти ли вам завтра, когда все улягутся в доме спать, в мою комнату? Я так давно не видала вас, и все как будто недостает мне чего-то, все нет около меня моего бедного резонера, некого побранить, не с кем ссориться!

А между тем мне кажется, что роли-то наши изменились -- что не вы мой руководитель, а я принимаю на себя обязанность вашей гувернантки. Не правда ли, ведь это довольно забавно? Впрочем, всему своя очередь: вчера вы меня учили, нынче я наставляю милое дитя доброй нравственности и хорошему поведению, а коли хотите, не откажусь даже употребить некоторые понудительные меры, разумеется, не тяжкие, а сообразные с вашим возрастом, чтоб не шалил ребенок и не баловал по-пустому!

ОТ НАГИБИНА К г. NN

Москва.

Вы удивитесь, может быть, друг мой, увидя слово "Москва", выставленное в начале этого письма. Вы думаете, что я еще в благословенном селе Ряплове, по-прежнему разливаю неимущим и жаждущим свет просвещения. Ошибаетесь, милый мой, сильно ошибаетесь -- я в Москве, я прогуливаюсь по Тверскому бульвару, живу "на хлебах" в одном весьма почтенном семействе и не играю уже в любовь, а занимаюсь чем мне всегда следовало заниматься, именно -- умерщвлением плоти.

Роман мой, едва начатой, уже кончился, и кончился, как можно было предвидеть, весьма балаганным образом -- с большим спектаклем, с характерным дивертисманом, в котором участвовало все почтенное семейство Крошиных.

Вообще, это уж такое свойство современных трагедий и комедий, что они достигают именно совсем противоположных целей, нежели те, которые предполагали себе; первые, по размышлении зрелом, оказываются самыми пустыми и глупыми фарсами, вроде французских водевилей, а вторые, напротив, начинают за здравие, а кончают за упокой. Это уж, видно, век такой, что все вещи называются собственными именами, что действуют в трагедии не Ахиллы и не Несторы, а какие-нибудь Акакии Акакиевичи и Макары Алексеевичи, а судьба снисходит до воплощения себя в образе горничных и неумытых лакеев.

То же самое случилось и со мной, да и не могло оно быть иначе, потому что и я ведь подлежу общей категории: и я не могу представить никаких особых условий, вследствие которых имел бы право на исключение из общего правила.

Начал-то я как будто и по-человечески; и в самом деле, чего тут не было и любовь, и бессилие, и борьба жизни с необходимостью -- все вопросы, как видите, современные, животрепещущие, а кончилось -- о стыд, о посрамление! Знаете ли, чем все это кончилось? Ведь нас поймали, мой милый, нас изловили в ту самую минуту, когда роман чуть было не достиг высшей степени своего пафоса! Но это обстоятельство так занимательно, что я непременно хочу передать вам всю по порядку и в совершенной подробности последнюю главу моей любви.

Надо вам сказать, что немного спустя после последнею письма моего к вам я получил от Тани предлинное послание, в нем, как вы легко можете себе представить, были по-старому все возможные убеждения переменить себя, оставить свою неестественную жизнь, предаться увлечению страсти и прочая, и прочая -- одним словом, письменно повторялись те же самые вещи, которые и в разговоре мне так страшно надоели; в заключение же меня просили прийти ночью, когда все улягутся спать, в ту заветную комнатку, где находится целомудренное ложе. Признаюсь, это приглашение встревожило меня, тем более что предмет-то совсем для меня новый -- ночь, тайное свидание, луна... ведь в это время я привык спать! Притом же, я боялся увлечься, боялся вновь изменить предначертанному плану; я слишком мало уверен в себе, что не поручился за свое чувство, которое могло пробудиться еще с большею силою. Тысячу раз брался я за перо, чтоб отговориться от этого свидания, и тысячу раз бросал его. Какой-то тайный голос говорил мне, с одной стороны, ты погиб, если вновь сделаешь уступку этой неразумной страсти; у любви есть неистощимые запасы обольщений неотразимых, непредвидимых, против которых не устоять твоей бедной голове, которые все существо твое обхватят своею непобедимою, влекущею силою -- остерегись же, не ставь так безрассудно на одну карту спокойствия всей твоей жизни. Но, с другой стороны, не этот ли же самый голос предательски шептал мне: стыдись, малодушный человек, иди смело и прямо навстречу опасности; неужели ты допустишь, чтоб могли тебе сказать, что все твои убеждения, все твои доводы не более как бледные, незначащие призраки, созданные больным рассудком твоим, неужели эти убеждения действительно так шатки, что боятся встретиться с жизнью, боятся, чтоб она не разбила в прах эфемерного существования их? Положение, как видите, совершенно однородное с знаменитою сценою нерешительности почтмейстера Шпекина при распечатывании письма Хлестакова, с тою разве разницею, что тут тайный голос говорит слогом высоким, не гнушается фигур и украшений, а там он говорил простою, вразумительною прозою: "распечатывай" и "не распечатывай". Однако ж, после долгих борений, я решился идти, может быть и потому, что самого меня влекла в эту сторону задушевная мысль моя, точно так же как <нрзб> влекло к распечатанию письма неугомонное его любопытство.

И Таня как будто предвидела это колебание, и едва начали в доме тушить огни, как у двери моей послышался голос ее горничной, звавший меня на условленное свидание.

Когда я вошел, она полусидела, полулежала на постели своей, в одной руке держа какую-то книгу, а другою облокотившись на столик; на ней была простая белая кофточка, и волосы ее -- те мягкие, чудные волосы, которыми я столько любовался в бывалое время, -- были тщательно прибраны под маленьким ночным чепчиком, накинутым на ее головку. Все мое существо как-то успокоилось, присмирело при входе в эту маленькую комнатку, как будто бы повеяло на меня тем девственным целомудрием, от которого так легко и свободно делается на душе человека, как будто все вдруг заговорило во мне забытым языком давно прошедшей моей юности... И я не мог удержать себя -- я бросился перед нею на колени, с жадностью схватил ее бледные руки и покрывал их поцелуями, я плакал, я был вне себя -- и радость и горе, и смех и слезы как-то

странно смешались, как-то современно выразились в эту минуту и едва не задушили меня полнотою своею.

-- Ну, полно же, полно, друг мой! -- говорила она своим мягким, в душу льющимся голосом, а между тем и не думала отнимать рук своих, между тем в этом снисходительном "полно" скорее слышалось робкое одобрение, нежели действительное желание, чтоб я перестал.

И я пользовался этим позволением с каким-то ненасытным упоением, как будто хотел вознаградить себя за все то время, в которое не видал ее, как будто всю жизнь, всю душу хотел истратить в эту одну минуту блаженства и забвения. О, я был тогда действительно счастлив, как ребенок! Все как-то исчезло, стерлось передо мною, вся моя вселенная, все мое небо, мое прошедшее, мое будущее -- все сосредоточилось в ней одной, в ее задумчивом взоре, в этой меланхолической улыбке, которая дрожала на губах ее! Да, это была истинно великая минута моей жизни, из тех минут, которые она одна дарила мне и за которые никогда образ ее не изгладится из моей памяти.

-- Ну, перестань же, успокойся, друг мой, -- сказала мне снова Таня, -- садись; мне нужно серьезно поговорить с тобою.

-- Говори, милая Таня, говори, бесценное сокровище мое; я слушаю тебя. Но не отнимай у меня этой чудной минуты упоения... Зачем ты просишь меня успокоиться? зачем говоришь ты о каком-то серьезном разговоре? Ведь успокоиться -- значит не любить, друг мой... а мне нужно забыться, мне хочется умереть в эту минуту от полноты счастия...

Но она поспешно отняла свою руку от губ моих и задумалась.

-- Что же ты задумалась, дитя? зачем не хочешь дать мне свою руку? Таня! а Таня! дай мне твою милую ручку. Я ничего не прошу более, ничего не желаю... Ручку твою, ручку, милая Таня!

Но, взглянув ей в лицо, я увидел на глазах ее слезы.

-- Да об чем же ты плачешь, странный, непонятный ребенок? Скажи мне, об чем эти слезы? скажи мне, милая, скажи хоть слово! Что же ты задумываешься? где же твоя прежняя веселость, где увлечение?

-- Я и сама не знаю, -- отвечала она сквозь слезы, -- сама не понимаю отчего, но меня пугает твое упоение. Все мне кажется, что оно не живуче, что минута блаженства разом поглощает все твои силы, а потом опять наступит это холодное, убийственное бессилие... Ты слишком жадно упиваешься своим счастием, друг мой, и оно скоро надоедает тебе, потому что ты не умеешь распорядиться им, извлекаешь из него разом все лучшие его соки, а оно и без того чуть дышит, это бедное счастие, и без того оно с каждым днем хиреет и чахнет...

Она замолчала и посмотрела мне в лицо; но, вероятно, лицо мое глядело не совсем-то весело, потому что она улыбнулась и сама привлекла меня к себе.

-- Ну, полно же! не смотри так угрюмо! -- сказала она, -- ведь я для тебя же говорю это, чтоб твое счастие было полнее и продолжительнее... ведь недаром же я писала тебе в письме своем, что хочу быть твоею наставницей! ведь ты еще молод, неопытен, за тобою еще нужен глаз да глаз... так, что ли, друг мой?

А знаете ли, ведь она правду сказала, что я не умею распорядиться своею жизнью! Действительно, не скоро можно расшевелить меня, не скоро разбудишь во мне давно умолкшую струну жизни; но если раз извлечен из нее этот полный, могучий аккорд, если раз умягчилась кора сомнений, сдавлявших мое сердце, я совершенно перерождаюсь; с каким-то жадным остервенением наслаждаюсь я этою чудною гармонией, так что вся моя энергия вдруг поглощается в этом упоении, силы мои, доведенные до крайних пределов напряжения, парализируются и угасают, а через минуту исчезают и малейшие следы этого волнения, которое так недавно заставляло трепетать и дрожать всякую фибру существа моего. Не недостаток жизни, но слишком большое обилие ее -- но не здоровое, а лихорадочное обилие -- причина моей безжизненности; если хотите, энергия во мне есть, силы имеются; но все это в каком-то хаотическом брожении, все это неустроено, взаимно друг друга уничтожает, гложет, так что, вместо гармонического целого, на самом-то деле остается одна пустота, одно безразличие.

И действительно, я так изнемог после этого первого порыва страсти, что замечание ее уже застало меня почти холодным; молча сел я у изголовья ее кровати, не зная, что делать, что сказать; она посмотрела на меня с безмолвным сожалением и покачала головой.

-- Что же ты вдруг так задумался, друг мой? -- сказала она, -- или мое замечание справедливо и весь запас твоего недавнего увлечения уж истощился?

Но я в смущении перебирал листы лежавшей передо мною книги и не отвечал ни слова.

-- Странный ты человек! -- продолжала она, -- все как-то необъяснимо, непонятно в тебе делается: хладнокровие и страсть, смерть и жизнь -- все это как-то странно ужилось в тебе, что незаметно даже и перехода от одного к другому. Одно мгновение ты весь трепещешь, ты умираешь под огнем страсти, и вслед за этим вдруг снова перерождаешься, сидишь как ошибенный, точно спутал, связал тебя кто-нибудь... Отчего же это, друг мой? Объясни, растолкуй...

Но я опять ничего не мог отвечать, потому что внутренно сознавал всю справедливость ее замечания; и она вздохнула глубоко, как будто понимая, что в этом молчании заключается безвозвратное осуждение мое.

-- А знаешь ли, что я читала? -- спросила она после нескольких минут томительного безмолвия.

-- Нет, не знаю; а что такое? -- отвечал я для того только, чтоб сказать что-нибудь.

-- Я читала моего милого "Компаньйона", ту сцену... помнишь?.. Да, тогда мы оба были счастливы... Если б всегда было так возможно...

Она опустила голову, и на глазах ее снова показались слезы.

-- Что же ты не отвечаешь мне ничего, -- сказала она дрожащим голосом, -- скажи хоть что-нибудь, хоть слово! не мучь меня, за что же я так страдаю!

-- А я-то, Таня, разве я менее страдаю, разве меньше я достоин сожаления, друг мой?

-- Так что же нам делать, по крайней мере? Что ж? умереть мне, что ли? или настанет и для меня наконец минута жизни?.. Скажи, не жалей меня -- лучше разом убить, чем понемногу отравлять жизнь мою. Ведь сам же ты столько раз говорил это! Так не мучь же меня, скажи ясно, есть ли надежда на спасение?

-- Право, я не знаю... Ведь ты видишь, Таня...

-- Да, я вижу, я слишком хорошо вижу. Ах, лучше бы не прерывать мне этого минутного увлечения...

-- Помнишь, я говорил тебе, что нам нужно расстаться? Я знал себя, я понимал свою нелепую натуру, когда умолял тебя согласиться на эту разлуку... ты сама не хотела!.. Виноват ли я, что беспрестанные встречи еще более растравили раны наши?.. А разлука многое бы излечила, многое изгладила бы из памяти...

-- Да, да, я виновата; я чувствую, что ошиблась; но ведь этого уж не воротить. Теперь-то что же нам делать?

-- Послушай, Таня, -- сказал я с некоторым замешательством, -- я говорил с Гуровым, он совсем не такой пустой человек, как кажется...

-- А, понимаю! так и вы хотите, чтоб я была его женою!.. так это весь ваш совет? больше ничего вы не можете сказать мне?

-- Откуда же взять мне другого совета? Скажите мне, Татьяна Игнатьевна, что же я могу для вас сделать? Право, не понимаю ваших странных требований! Увезти, что ли, я вас должен? Да ведь вы уж слишком большой жертвы требуете от меня, вы хотите, чтоб я отказался от здравого смысла, от приличий... Я не хочу пользоваться счастьем втихомолку, как лакей, который, забившись в угол, украдкою ест барский кусок... Как же меня-то вы так мало уважаете!

-- Да, я не уважаю, делать нечего. Ну, так оставимте и говорить об этом, что же тратить понапрасну драгоценное время? Вам, я думаю, и спать пора.

-- Ах, боже мой! ведь вы сами не знаете, как терзаете меня своим насмешливым тоном! Ну, положим, что я и увезу вас, положим, что я перестану быть человеком и сделаюсь на время хватом. Что же будет из всего этого? что же впереди-то, какая будущность ждет нас?.. Отвечайте, Татьяна Игнатьевна! Ведь если уж рассуждать, так не нужно ничего оставлять неясным для себя, нужно определить себе все подробности нашего взаимного положения.

-- Что будет? Зачем думать о том, что будет? Я столько раз говорила вам, то нужно пользоваться настоящею минутою.

-- Да ведь мы не в золотом веке живем, Татьяна Игнатьевна, хоть золотой век и впереди нас, как говорит один из любимейших писателей ваших... тем не менее он все-таки впереди, и бог знает, близко ли это впереди! Зачем думать о будущем? Вот прекрасно! Да ведь вы никогда не жили в настоящем-то свете, бедное дитя мое, а я вот столько лет уж бьюсь, как рыба об лед, об эту гранитную скалу, называемую жизнью, и до сих пор еще не понимаю ее, до сих пор не могу устроиться в ней!.. И вы думаете, что правильное развитие любви возможно в таком положении вещей, что любовь найдет в себе самой столько силы и жизни, что устоит под неумолимым бичом действительности? Не думать о будущем! да ведь я есть хочу, Татьяна Игнатьевна!

И я посмотрел на нее; лицо ее было бледно, как полотно, глаза неподвижно устремлены на меня; скорбное, безвыходное отчаяние говорило в полураскрытых губах ее, в порывистом трепетании груди, как будто с моими словами безвозвратно рушилась для нее всякая надежда.

-- Да, да; все это справедливо, я и не подумала об этом, -- сказала она едва слышным голосом, -- да я-то ведь, я должна погибнуть!

Я не мог вынести долее и рыдая бросился к ней на грудь.

-- О да! крепче! крепче, -- говорила она, -- прижимай меня, целуй меня, друг мой, в последний раз... Ведь это в последний раз!

И тихие слезы ручьем полились из глаз ее.

-- Будь же счастлив, друг мой! пусть будет тебе радостью жизнь твоя! А там... когда-нибудь вспомни о бедной Тане. Ведь ты не забудешь обо мне, когда меня не будет?

-- Таня, милая Таня! зачем эти мысли? И ты будешь весела, и ты будешь счастлива.

-- Нет, для меня уж все кончено! Я всю жизнь свою истратила в этой любви. Что же делать, если она не удалась мне? Видно, богу так угодно... Поцелуй же меня крепче, крепче... вот так. Ведь это в последний, в последний раз.

И она взяла меня за голову, и молча смотрела мне в глаза, изредка только повторяя: "Ведь это в последний, в последний раз". Вдруг она побледнела и с пронзительным воплем упала навзничь на постель. Я обернулся: в дверях стояла Марья Ивановна и за нею все семейство Крошиных....

Знаю только, что в эту ночь я был глубоко несчастен. Никогда так горько не плакал я, никогда не была для меня так тяжела и невыносима жизнь, как будто все вокруг меня вдруг покрылось таким черным, безнадежным колоритом, что сердце надрывалось, рассудок погибал в этой повсюдной темноте. И я не стыжусь этих слез и откровенно признаюсь перед вами в своем отчаянии, потому что, ведь как хотите, а я много потерял в одну минуту, ведь все-таки эти два месяца, в продолжение которых разыгрывалась моя нехитрая драма, я хоть сколько-нибудь жил, хоть половинного, отрицательною жизнью, но все же во мне происходила борьба, я искал чего-то; одним словом, я чувствовал по крайней мере, что существую, мог отдать себе отчет в своем дне -- а это уж очень и очень много! Теперь мне действительно остается только заниматься умерщвлением плоти! Конечно, может быть, я и к этому привыкну -- все может быть; привычка великое дело! -- да ведь все же не более, как привыкну, ведь тем не менее я буду сознавать, что по привычке только терплю подобную жизнь, а на самом-то деле она ненавистна мне, на самом-то деле я бежал бы от нее... хоть на тот свет!

Такого рода мысли занимали меня всю ночь. Как нарочно, когда человеку нужно спокойствие, нужно присутствие духа, тут-то и являются картины самые мрачные, самые горестные. Конечно, всякий -- и весьма основательно -- может мне сказать, что я не логически размышляю, что я должен был бы радоваться, что развязался наконец с этою странною, больною любовью, которая отнимала у меня, без всякой нужды, всю энергию мысли, -- да что же прикажете делать? Ведь я привык к ней; в продолжение двух месяцев она была единственным моим делом, единственною мыслью, с которою я просыпался и которая покидала меня только тогда, когда я засыпал. Разумеется, со временем, когда деятельности моей дана будет иная сфера, моя печаль обратится на радость -- да когда-то дана еще будет эта новая сфера, а уж прошлого не воротить!

На другой день, когда я проснулся, у крыльца уже стояла кибитка, запряженная парою деревенских кляч, и все пожитки мои были уложены.

Я пошел к Марье Ивановне.

Она сидела в своей комнате и разливала чай; против нее сидел у стола Игнатий Кузьмич в совершеннейшем утреннем неглиже, которое только можно себе представить. Я поклонился, но мне кивнули головой сухо и с пренебрежением.

-- А я думала, батюшка, что вы уж догадались уехать, -- сказала Марья Ивановна.

-- Я бы давно и уехал, но, к несчастию, у меня еще есть кой-какие счеты с вами.

-- Какие это, батюшка, счеты? что за счеты? -- возопила Марья Ивановна, -- уж не за деньгами ли, отец мой, пришел? чего доброго? Развратил, испакостил весь дом, на фамилию пятно наложил -- да еще, поди, плати ему за это!

-- Так, матушка, так, сударыня! -- сказал, с своей стороны, Игнатий Кузьмич, который только что помолился и, по-видимому, находился в периоде смиренномудрия.

-- Однако ж все это не мешает нашим счетам, -- сказал я.

-- Что ты? что ты? в своем ли ты уме, отец мой? Чему ты учил-то? соблазну да скоморошеству! За что же платить-то тебе? Ведь тебе чужих денег не жаль, а нам они родные, кровные... вишь, расставил глаза на чужой карман!

-- Я чужого, однако ж, не прошу у вас, Марья Ивановна, я требую только того, на что действительно имею полное право.

-- А кто тебе сказал, что ты имеешь право? Да по-твоему, ты, пожалуй, скажешь, что имеешь право амуриться с благородною девицей? У тебя губа-то не дура, голубчик! Знаешь, что у нее коко с соком, так и подлипаешь. Да нет, -- не удалось, видно бог тебя накажет за это: гордым бог противится -- и в Писанин сказано!

Я улыбнулся вместо ответа.

-- Еще и смеется!.. в бога не верует, Писания не чтит... Да что ты-то, сударь, сидишь и ни слова не вымолвишь? Ведь ты глава семейства, -- продолжала она, обращаясь к мужу.

-- Как хочешь, матушка, -- отвечал Игнатий Кузьмич, -- как тебе угодно, сударыня!

-- А мы тебя пригрели, призрели тебя, как родного сына в дом свой приняли! Вот, что называется, не поя, не кормя, ворога не наживешь!

-- Ведь, право, Марья Ивановна, послушать вас, подумаешь, что я без вашей помощи и существовать бы не мог! Уж чего вы для меня не сделали: и одели, и напоили, и пригрели... разумеется, этого очень достаточно, и отдавать деньги, которые следуют мне по условию, -- совершенно лишнее.

-- А ты думал, что это так тебе и пройдет, что ты, дескать, будешь блудить да шаромыжничать, а мы, простофили, еще и денежки тебе за это отдадим! Да нет, молодчик, не на тех напал! поди-ко, да сам наперед поучись у простофиль-то! Я еще тебя проучу! Ты не думай, что отделался от меня; я еще тебя упеку!

-- Так, матушка, так, сударыня! -- пробормотал Игнатий Кузьмич.

-- Так вы решительно не хотите рассчитать меня?

-- Что, батюшка, за расчеты? Тебя, чай, с лихвой рассчитала твоя любезная, будь доволен и этим!

-- Одному только удивляюсь я, Марья Ивановна -- это той низости, до которой вы доводите себя, отзываясь так грубо о дочери своего мужа, а еще больше тому, что Игнатий Кузьмич равнодушно слушает такие отзывы...

-- Так, матушка, так, сударыня, -- начал Игнатий Кузьмич по привычке, -- так.

-- Что так? что ты-то, свет мой? оглупел, что ли? Твердит себе под нос: так да так. Развратная, сударь, распутная девка! А все твое потворство, все твои слабости! Вот теперь и любуйся! Да как еще она у тебя давно не сбежала!.. Вишь, невтерпеж пришлось, рада всякому лакею на шею повеситься!

-- Ну, однако ж, я не лакей, -- заметил я мимоходом.

-- Что ж? дворянин, что ли, ты, батюшка? одна своя душа за душою, а туда же, мы, дескать, дворяне!

-- Так, истинно так, -- продолжал Игнатий Кузьмич, -- так, сударыня!

-- Еще хорошо, что такой снисходительный жених попался, -- продолжала Марья Ивановна, -- а то не сносить бы тебе, молодчик, головы!

-- Однако ж, слава богу, она на плечах, как видите.

-- То-то на плечах! благодари за это бога; я бы не так с тобой разделалась, ты бы помянул у меня царя Давида и всю кротость его.

-- Ну, да если вы не хотите исполнить наши условия, так мне ничего не остается более, как пожелать вам доброго здоровья.

-- Прощай, батюшка, прощай! счастливого пути! чай, не помянешь нас лихом! за всех отблагодарила смиренница-то наша, Татьяна Игнатьевна! Ступай-ко в Москву развращать молодых девушек: там тебе бока-то отломают!

Это было последнее пожелание, которое я слышал в этом богоспасаемом доме. Через пять минут две крестьянские клячи тащили меня в тряской телеге по проселочной дороге в Москву. Когда мы выехали из ворот, в окнах заветной комнатки показалось знакомое белое платьице и кто-то махал мне на прощанье платком. Признаюсь, долго оглядывался я назад, желая в последний раз наглядеться на эти места, где я хоть на одно короткое мгновенье был счастлив; долго следил мой взор за движениями белого платьица, мелькавшего в заветном окне; долго с напряженным вниманием всматривался я в это окно, желая за стеклами различить незабвенные для меня черты. Наконец, все скрылось, все слилось в одну едва заметную черную точку; наконец и она исчезла на туманном горизонте, и передо мною неизмеримою равниною тянулись вспаханные поля да луга, со всех сторон обрамленные синеющимся сосновым лесом... Сердце мое сжалось, как будто здесь оканчивался последний акт моей жизни, как будто там, за этими полями, за этим густым лесом, ожидало меня что-то страшное, или, лучше сказать, вовсе ничего не ожидало, и невольные слезы горького отчаяния полились из глаз моих.

-- А что, барин, больно соскучел? -- сказал мне сидевший на облучке мужик, -- али жизнь-то у нас полюбилась?

Я не отвечал.

-- Али тебя, то есть, при расчете как ни есть обошли?

-- А что? -- спросил я машинально

-- Так-с; знамо дело, корыстная барыня, своего не упустит! Ну, а барчонков-то ты на службу царскую, что ли, справлял?

-- Нет.

-- Так-с; а вот, то есть, дворовые-то поговаривают, что ты и барышню-то справил?

Молчание с моей стороны.

-- А барышня важнеющая! сухопарована немного?

-- Не знаю, -- сказал я в совершенном недоумении, что отвечать на подобные вопросы.

-- Так-с; да ты с Дурыкина, что ли?

-- Да, с Дурыкина.

-- Знаем и Дурыкино; большое село, и господ много живет, да только всё дрянца, голь такая... да ты Нагибиных, что ли?

-- Да, Нагибиных.

-- И Нагибиных знаем, как не знать! и у них бывали, и матку твою, Нагибиху, знаем, такая поджарая да хворая! Да, видно, уж ваш род такой. Видали, как не видать! И к обедне туда хаживали, и ярмарки на селе важнеющие по храмовым праздникам бывают.

Я молчал.

-- И наши мужички вот с холстом ездят, и деготь тоже продают, и красным торгуют. Славное, хорошее село, да вот господ-то больно много -- видимо-невидимо, словно мух... Что ж ты на Дурыкино-то не едешь?

-- Нельзя.

-- Так-с; примерно, в Москве изволите проживать?

-- Да, в Москве.

-- Чай, службу царскую несешь, деньги дерешь... знамое дело! Вот и намеднись исправник приезжал -- такой грозный исправник! Всё, говорит, снесу, ни кола, ни двора не оставлю, коли не заплатите; да Марья Ивановна -- дай бог ей здоровья -- отстояла: водочки выпил, пирогом закусил, да так и уехал... А вот через неделю опять приедет, видит бог, приедет! ну, и опять тебе водочки поднесут. Корыстная, крепкая барыня! от своего добра не отступится...

На этом и остановилась наша беседа. Видя, что я не совсем разговорчивого десятка, почтенный возница предпочел оставить меня в покое и во все остальное время обращался с вопросами более к своим клячам.

Итак, здесь кончается история моей любви. Никаких следов, никакого признака не осталось от нее: разве одно бесплодное воспоминание, да и то со временем угаснет, и то, как все в жизни, со временем сотрется в безразличном тумане прошедшего. Теперь скажите мне, не прав ли я был, говоря, что никогда, ни к чему не поведет эта странная любовь, взросшая на болотной, тинистой почве горестей и сомнений?

Вы скажете, что это испытание, этот искус, через который я прошел, принесет мне пользу, что он даст крепость и полноту моим силам, что только с жизнью и опытом человек делается человеком, -- и много хорошего можете вы еще сказать. Все это так, и действительно я вынесу из этой борьбы свою долю возмужалости, свою долю трезвости в воззрении на жизнь, все это принесет пользу -- но кому? ведь все-таки не я воспользуюсь плодами посеянного мной, все-таки не мне, а другим проложит дорогу к жизни эта опытность, которую я извлеку из немудрого моего существования; я же лично тем не менее утрачу в этой борьбе всякую способность к жизни; я лично не приобрету из всего этого ничего, кроме преждевременной, медленной смерти. Конечно, я действовал и тут, как и везде, только по внушению своего собственного эгоизма и винить никого, даже самого себя, не могу; да в том-то и дело, что обстоятельства жизни нашей так чудно слагаются, что именно тот, кто и сеет и жнет, -- никогда не печет и не варит, а печет и варит другой, совсем другой -- такой, который и в глаза не видал посеянного!

С другой стороны, ведь и ее-то мне жалко, потому что, как бы то ни было, хоть совершенно невинно, а, собственно говоря, ведь мое равнодушие -- причина ее болезни и, может быть, -- предстоящей смерти! Я твердо уверен, что она хладнокровно перенесла бы оскорбления своего семейства; знаю, что не они сведут ее в могилу -- ее убьют несбывшиеся ее мечтания, убьет не нашедшая ни в ком отголоска любящая душа ее!

В самом деле, ее положение жестоко и незаслуженно! Всю жизнь она была одна, всю жизнь томилась ожиданием какого-то светлого луча счастия и наконец нашла что-то, как будто и похожее на счастье, -- и улыбнулось, и расцвело вдруг это грустное, бесцветное существование. Но что же встретила она с моей стороны? одно старческое бессилие, одно отжившее рефлектерство, об которое разбилась ее свежая, нетронутая мощь! Вот самое горестное обстоятельство в этом деле! Остальное еще можно кой-как перенесть, привыкнув немного к новой жизни, тем более что терпенья-то мне не занимать стать. Я твердо уверен, что если увижу ее когда-нибудь, то увижу счастливою; но в том-то и дело -- увижу ли я ее? Да и бог знает, лучше ли будет, если она останется жива: мне все кажется, что это возможно только в таком случае, если она вполне покорится условиям грязной, скопидомской жизни, в которую вступает, а для этого ей нужно совсем переродиться, нужно перестать быть собою, то есть оглупеть, потерять всякое сознание своего достоинства -- а этого я не полагаю возможным. Итак, во всяком случае, один только выход возможен для нее -- смерть, и как ни вертись, а все-таки не отмолишься, не отговоришься ничем от этого грустного конца! Вот это так истинное несчастие!

Однако ж пора мне и кончить и без того уже чересчур длинное письмо мое. Ничего не пишу вам о теперешнем моем образе жизни, потому что сам еще достаточно не огляделся вокруг себя. Все это оставляю до будущих писем, разумеется, если еще не слишком надоел вам и вы пожелаете узнать немногосложные подробности моего небогатого событиями существования.

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

...А между тем я, право, не так дурно провожу время, как предполагал. Надо вам сказать, что живу я вместе с общим нашим товарищем по школе, Валинским, на хлебах у некоего г. Вертоградова, служащего в одном из низших губернских мест, сутяги страшного, нажившего, по мере сил и трудов, маленький деревянный домик в отдаленном углу Москвы. У этого Вертоградова весьма скаредная физиономия, но в вознаграждение -- премиленькая дочка, которая с Валинским находится в довольно приятных отношениях и о которой ниже. В настоящее время у меня понабралось достаточное количество уроков, так что и деньги водятся, лишнее съесть, лишнее выпить можно. Иногда даже как-то невольно делаешься оптимистом -- а и нельзя же иначе: при деньгах и на мир смотреть любезное дело, и солнце "выглядит" светлее и обои на стенах как будто без заплат, и пухлое, красное, как самовар, лицо бородатого купчика так добродетельно, умильно на тебя смотрит, что на душе делается любо. Дивны дела твоя, господи, вся премудростию сотворил еси! Да притом же и Валинский, и Андрей, служитель, и Маша, хозяйская дочь, -- всё это так добродетельно, так удобно подлаживается одно к другому, что истинная, невозмутимая гармония царствует между нами, такая гармония, которая и на ум не всходила ни Фурье, ни Сен-Симону, ни кому-либо из подвизавшихся с честью на этом поприще.

И что за чудная душа у Валинского! Как будто природа в нем одном хотела выразить всю светлую сторону человека! Это натура простая, откровенная, чуждая всякой зависти и в высшей степени добрая. Но это не та болезненная добродетель, которая так часто встречается в наше время и ограничивается бесполезным сетованием, проливаньем слез, подаянием и прочая; таких людей очень много, они встречаются на каждом шагу, и, скажу вам на ушко, совсем не так бескорыстны, как кажется с первого взгляда; нет, это люди тщеславные, которые всем в глаза лезут с своею добродетелью, кичатся ею, люди, которые почитали бы себя несчастнейшими существами в мире, если б не было на свете ни бедных, ни обиженных, потому что не на чем было бы выразиться их добродетели, не о ком было бы им соболезновать, -- а соболезнование во многих случаях весьма и весьма приятно.

В Валинском все доброе как-то легко, без усилия, прорывается, как будто он инстинктивно сознает, что истинная добродетель состоит не в пришпориванье чувствительности, а в законном, естественном употреблении всех сил своих, ни в одном движении его вы не заметите, чтоб оно было обдумано, чтоб оно было плодом долгой борьбы, томительного размышления, а между тем каждое действие его запечатлено такою истиной, как будто он и делать иначе не может, как будто всякий другой образ действования противен природе его. Коли хотите, не доброта в обыкновенном значении этого слова, а глубокое чувство справедливости составляет главную основу его характера, потому что так называемая у многих добродетель -- вещь довольно подозрительная, как я заметил вам выше, которую отнюдь не должно смешивать с человечностью. Многие, например, из нас принимают разумность сущего -- и вы и я очень хорошо понимаем, что все существующее уже по одному тому имеет право на существование, что оно есть; что если один человек более или менее счастлив, а другой вовсе несчастлив, то причина этого заключается в вещах, а не в людях; но мы только что понимаем справедливость этих положений, а на самом-то деле куда как иногда жутко приходится нам, куда как ропщем мы на эту разумность!

В Валинском это трезвое понимание действительности доведено до высшей степени просветления; оно не осталось для него бесплодным отвлечением, а проникло в жизнь его, приняло плоть и кровь. Натура его как-то естественно, бессознательно поддается данному

порядку вещей и с редкою проницательностью находит смысл и связь в явлениях совершенно, по-видимому, разрывчатых, нейдущих об руку. Поэтому никогда не слыхал я от него ни жалобы, ни ропота; поэтому со всеми он одинаково естествен и прост; богатому и бедному -- всем равно и с тем же радушием -- протягивает он руку свою, понимая, что как тот, так и другой чисты от нареканий, и тот и другой оправданы вполне гнетущею их действительностью.

Да! это не то, что мы с вами, хоть и мы хорошие люди!

И сообщество Валинского принесло мне действительно неоцененную пользу. В самом деле, иногда так неприятно слагаются в жизни обстоятельства, что невольно смотришь на все с черной, неприязненной точки. Тут-то, в эти грустные минуты, непременно нужен человек, который откровенным, неуклончивым взглядом на вещи рассеял бы все сомнения, вытолкнул бы вновь на прямую дорогу, -- и Валинский вполне соответствует этому назначению.

На днях как-то вечером сидели мы оба дома. Конечно, наши сентябрьские вечера, особливо под конец месяца, не то чтоб пленяли особенною приятностью; конечно, и изморось грустная, мелкая и холодная дребезжит в окно; конечно, и город представляет неприятный вид с поднятыми шинелями пешеходов, с их зонтиками, калошами и прочим дрязгом; все это так, но всего этого ожидать было должно, все это в порядке вещей, и, следовательно, не на что бы, казалось, сердиться. Однако ж, с другой стороны, и рассердиться весьма натурально, потому что такое стечение обстоятельств подавляет душу человека, осуждает ее на бездействие, налагает несносную тяжесть на все существо его...

И я действительно рассердился.

-- Владимир Иваныч, -- сказал я, -- объясните мне, пожалуйста, отчего бы это такое скверное время? ведь это, право, на смех да в пику бедному человеку.

Но Валинский не отвечал.

-- Владимир Иваныч, -- продолжал я, -- скажите мне, отчего бы это люди в каретах ездят, а мы с вами пешком по грязи ходим?

То же упорное молчание.

-- Владимир Иваныч! да что ж, спите вы, что ли?

-- Любезный друг, оставьте меня, пожалуйста, в покое! Вы, кажется, имеете поползновение заниматься различными социальными вопросами, а на меня ненастье дремоту наводит. Я думаю, что гораздо было бы лучше, если б все ездили в каретах... а впрочем, знаете ли что? уж не испорчен ли у вас желудок, что вы сегодня в таком мрачном расположении духа?.. Я знаю прекрасное лекарство.

Но, признаюсь, в эту минуту мне было не до шуток: истинная меланхолия овладела мною, так что я готов был хоть в воду, только бы избавиться от этого несносного положения.

-- Вы вечно с своими неуместными шутками, -- сказал я, -- вечно с своим оптимистским взглядом на вещи!.. Но, боже мой, скажите же, где эта жизнь, где разнообразие, о котором так много говорят, так много пишут? Нет, в жизни только пустота, а разнообразие только в книгах!

-- И все это по поводу дождя? -- сказал Валинский, -- так вам очень досадно что вы не ездите в карете?

-- Ах, боже мой! да не во мне сила, Владимир Иваныч! В основании этих жалоб лежит нечто высшее, нежели мой личный эгоизм -- этим порядком вещей оскорбляется идея справедливости, врожденная мне... Скажите, отчего и А, и В, и С, и сотни других, один другого ничтожнее, один другого презреннее, будут спокойно и без труда наслаждаться жизнью, тогда как мы просиживаем долгие, бессонные ночи, чтоб добыть себе черствый кусок хлеба? И будет жизнь этим людям сладка, и придут они самым естественным образом к тому глупому пристанищу, название которого вы можете встретить на губах у каждого, кто в жизнь свою только и думал о том, как бы повернее надуть и обокрасть своего ближнего.

-- Да ведь все это есть, любезный друг; поставьте же вы себя на месте этих А и В и С -- отказались ли бы вы ездить в карете? пожертвовали ли бы вы собою или богатством своим -- что решительно все равно -- в пользу человечества? Вы желаете счастья -- похвально; но ведь и другой ищет его?

-- Да, вы очень приятно рассуждаете, Владимир Иваныч; вы стократ счастливы, что, не пускаясь в дальнейшие рассуждения, приняли жизнь, как она есть, и с философским равнодушием доказываете, что нет в мире ничего произвольного!

-- Послушайте, Андрей Павлыч, -- сказал Валинский, -- вы не совсем справедливы ко мне: я вовсе не так холоден, как кажусь -- да, вот, видите ли, жалобы ни к чему не ведут... Знаете ли что? я бы серьезно советовал вам заняться чем-нибудь; людям в нашем положении не годится думать об удовольствиях: это только горячит кровь и расстраивает воображение без всякой пользы; нам надобно трудиться, много трудиться, чтоб в труде забыть все, что нас окружает. В наше время трудно и даже невозможно быть полным человеком -- надо быть или материалистом, или спиритуалистом... я бы охотнее желал быть первым, но для этого нужно иметь поболее моего дохода, и потому, хотя в душе я и признаю все права материи, но в жизни иногда поневоле бываешь спиритуалистом, потому что часто эта одна сторона только и возможна.

-- Трудиться? да, трудиться! Однако ж это странно -- ведь есть же люди, которым жизнь легка, которым каждый миг есть новая радость, новое удовольствие...

-- Едва ли; а если и есть такие, то, во всяком случае, в тысячу раз более таких, которые несравненно несчастнее даже нас с вами.

-- Несчастнее? да, есть многие, которые, может быть, в эту самую минуту умирают от голода и холода! Однако ж зачем давать воспитание? зачем развивать потребность новой, лучшей жизни? Уж если так тесно жить на свете, не лучше ли было бы заранее заглушить в человеке все человеческие чувствования? Тогда, по крайней мере, мы не понимали бы всей глубины нашего несчастия!..

-- Так, разумеется, так, -- отвечал Валинский, -- но, к счастию, человечество не рассуждает так. Во всем этом верно и несомненно только одно -- что, при известных обстоятельствах, самые лучшие явления имеют самые гибельные последствия. А жаловаться-то все-таки не на кого...

Что касается до Маши... но прежде позвольте мне рассказать обстоятельства, в которых я познакомился с нею.

Вскоре после приезда моего в Москву, у Вертоградовых готовилось большое торжество -- Фома Фомич получил чин коллежского асессора и намеревался отпраздновать его достойным образом. Можете представить себе, какой переворот во всем семействе должен был произвести этот вожделенный чин, предмет столь долгих и томительных ожиданий бедного Вертоградова, который, между нами будь сказано, происхождения не дворянского, как это достаточно показывает и фамилия его.

И действительно, с самого утра в доме все было вычищено; целый день горел на кухне неугасаемый огонь, и Авдотья Захарьевна, хозяйка дома, уподобясь весталке-хранительнице этого священного огня, без устали бегала из угла в угол, занимаясь стряпнёю пирогов и других великолепных вещей. Уже с шести часов все в доме было готово, и жильцы были одеты самым параднейшим образом, хотя приглашение было к восьми часам и только на чашку чая. Ну, и мы с Валинским начали было одеваться; смотрим, ан к нам явился Петя Блинов -- помните, глупый студент?

-- Что, будете у Вертоградова?

-- Будем, будем! а ты за нами?

-- Да, за вами; хорошо, говорят, будет; Марья Фоминишна на фортепьяно будет играть; всего кучу наготовили, и пуншу много будет: и с ромом, и с кизляркой...

-- А тебе бы только пуншу! Закури же трубку, пока время есть.

Но было только семь часов с половиной; Блинов закурил трубку и сел; разговор наш, от полноты трепетного ожидания, как-то не клеился.

-- Что, ты был вчера у Сережи Сюртукова? -- обратился ко мне Блинов.

-- Был; да ведь ты сам меня там видел...

-- Да, да; я и забыл.

Молчание.

-- Так-то-с, почтеннейший Андрей Павлыч, -- сказал опять Блинов, выкурив трубку.

-- Да, -- отвечал я, -- не хочешь ли еще трубочку?

-- Да, не худо бы.

Опять молчание.

-- Скучно, брат, на этом свете жить, -- прервал Блинов.

-- Да, не весело таки, -- отвечал я.

Наконец, помолчав еще кой о чем, мы отправились к хозяину.

Боже! кого там не было, в этой маленькой комнатке! И Петя Мараев, и Саша Кузнецов, и Яша Позиков, и Граша Бедрягин! Удивительно даже, как могла она вмещать в себе столько прекрасных, а отчасти даже и знаменитых людей! И каждый из них отличался каким-нибудь качеством ума или сердца: Петя Мараев славился древностью своей породы; Саша Кузнецов

верил в жизнь и счастие на земле и сочинял стихи; Граша Бедрягин, напротив, был скептик, наотрез отвергал благородство натуры человека и сочинял прозой; Яша Позиков пользовался популярностью, слыл славным малым и душою общества, посещал театр и был знаком с танцовщицами. Но, право, я не кончил бы, если б стал пересчитывать вам достоинства всех присутствовавших на этом вечере.

Кроме кавалеров, было много и дам, блиставших изобилием желтых лент; были и девицы в белых кисейных платьях, причесанные a la chmoise, a l'enfant [под китаянку, по-детски (франц.)] и проч., но между ними, как солнце между звездами, блистала Маша -- своею свежестью, безыскусственностью своих движений, стройностью стана и полным страсти взором. В самом деле, редко встречал я подобные глаза: голубые, вечно подернутые влагою страсти, они так мягко, так сладострастно смотрят на вас сквозь густые ресницы, что невольную неловкость ощущаешь во всем существе, и томительный трепет желания пробегает мгновенно по всем жилам; прибавьте к этому девственную полноту форм, густые русые волосы, необычайную белизну тела и полное грации личико, и вы будете иметь приблизительное понятие об этой девочке.

Когда мы вошли, Яша Позиков смешил всех до упада рассказами о своих приключениях с квартальными надзирателями, будочниками и другими блюстителями общественной тишины и спокойствия.

-- Меня знают все, -- говорил он, -- я душа общества; даже квартальные жмут мне руку -- право! Намеднись выхожу из театра, вдруг какой-то квартальный с почтением, ей-богу! и руку подал! каково? а? руку подал? вон оно куда пошло!

После нескольких незначащих приветствий господину и госпоже Вертоградовым Валинский подвел меня к Маше.

-- Маша -- хозяйская дочь! -- сказал он, -- мой приятель Нагибин! прошу любить и жаловать, как меня самого.

-- Право? -- сказала она, улыбаясь и грозя ему пальцем, -- точно так же? Ну, смотрите же, не раскаивайтесь! Очень рада познакомиться с вами, -- продолжала она, обращаясь ко мне. -- Что это вы никогда к нам не побываете? Папенька очень желает, да и я, с своей стороны.

-- Не верь, не верь ей, -- прервал Валинский, -- сама не хочет прийти ко мне именно потому, что ты живешь со мною... Совестно, изволите видеть, дитя малое, неразумное!

-- Это правда? -- сказал я, -- и вам не стыдно, Марья Фоминишна? За что же вы, не зная меня, так жестоко наказываете?

-- Ах, нет, неправда, неправда! Вы, пожалуйста, не верьте Владимиру: он ужасный лгун, он сам говорил мне, чтоб я не ходила...

-- Кому же из вас должен я верить?

-- Разумеется, мне, -- отвечала она, -- какое же в том сомнение!

-- Разумеется, разумеется! что и говорить! -- сказал Валинский. -- Ну, да, впрочем, дело не в том, кто из нас прав, кто виноват, а в том, что ты будешь ходить теперь ко мне, и пост мой кончится: мне того только и нужно!

Маша потупилась.

-- А! поймал, поймал тебя, негодная! Вот тебе вперед урок: не лги, послушествуй старшим!

-- Я надеюсь, что вы будете считать меня своим другом?

-- О, разумеется! Я уверена, что буду любить вас! Да притом и Владимир просил любить вас, как его самого, а его просьба для меня закон! -- отвечала она, лукаво посматривая на Валинского.

-- Ладно, ладно! -- отвечал он, -- там что будет, то будет, а покамест извольте-ко приходить к нам.

-- Маша! Маша! -- послышался из другой комнаты голос Авдотьи Захарьевны, -- куда ты, мать моя, запропастилась? Поди же, займи кавалеров.

-- А мы точно и не кавалеры! -- проворчал сквозь зубы Валинский. -- Ох, Маша, уж куда не по нутру мне твоя матушка -- вечно кусок из-под носа утащит! Утопил бы я ее, право, утопил бы, давно бы утопил!

-- Славная девушка! -- продолжал он, когда Маша исчезла, -- и какое доброе сердце! вы не поверите, а два месяца тому назад, когда я был болен, ночей не спала, украдкой ко мне бегала...

И он задумался.

-- Я бы умер, непременно бы умер, если б не она! Сами знаете, прилично ли бедному человеку хворать: денег нет, а в аптеку нужно, обедать нужно, да и за квартиру тоже спрашивают... А она и денег принесла -- выработала, говорит, а там -- бог ее знает! за любовь все простить можно! Все-таки мне ее жалко!

-- А что?

-- Да так; ни за грош пропадет, бедняга... Жениться я на ней не могу, а другой никто не возьмет.

-- Отчего же? -- спросил я.

-- Да бедна; сверх того, и другого любила, а люди ведь глупы, хотят, чтоб блюдо-то им непочатое дали; ну, а она девушка честная -- не скроет! Поверите ли, иной раз совсем грустно сделается, глядя на нее, а она и не думает ни о чем, такая веселая ходит, и как ни в чем не бывала! Право, если б не она, я совсем был бы дрянь-человек, совсем опустился бы!

Между тем в гостиной собрался кружок кавалеров и дам; Яша Позиков рассказывал, что один его приятель видел в Париже такую обезьяну, которая и брила, и комнату убирала, и кушанье готовила, на что Петя Мараев, отличавшийся "ароматом светскости", заметил, что весьма покойно иметь подобного зверя, а главное, тем еще хорошо, что нет уж никакой надобности держать при себе лакеев, которые, по большей части, бывают плуты и мошенники; обезьяна же, по самой природе своей довольствуясь малым, не может оказать подобных поползновений на барскую собственность; ergo [следовательно (лат.)], обезьяна, и в особенности ученая, гораздо лучше, нежели лакей. При таком неожиданном заключении Граша Бедрягин обнял Мараева, сказав, что он сам того же мнения и весьма рад, что его теория об абсолютном и относительном несовершенстве натуры человеческой нашла себе отголосок в сердце такого милого и образованного юноши.

-- Да, -- прибавил он мрачным и таинственным голосом, -- самое ничтожное и самое скверное создание в мире -- человек, и это я узнал по опыту.

-- Нет, отчего же? -- возразил Кузнецов, вечный противник Бедрягина, -- человек вовсе не самое скверное животное; есть многие животные гораздо хуже. Разве ты хотел бы сделаться собакою, или лошадью, или чем-нибудь этаким?

На это Бедрягин отвечал, что лошадь животное чистоплотное и что нет ничего позорного быть лошадью.

-- Ну, а собакой? -- возразил неумолимый Кузнецов.

На это Граша Бедрягин ничего не отвечал, но сжал кулаки и насупил брови, что видя присутствующие, во избежание истории, поспешили переменить разговор и предложили Мараеву прочесть стихи его собственного сочинения.

Петя долго отнекивался, но наконец прочел; не могу слово в слово передать вам это стихотворение, но приблизительно оно было в этом роде:

"Там река шумит, ветер воет и небо облаками кроет, мы сидим с тобой оба; у тебя кудри так развеваются, и полная грудь твоя поднимается, и ланиты покрыты пурпуром стыдливости. А там река шумит, ветер воет и небо облаками кроет".

Читая, Мараев бросал страстные взоры на Машу; стихотворение произвело эффект.

-- Ах, как обворожительно! Ах, какая прелесть! -- говорила Авдотья Захарьевна. -- Дайте, пожалуйста, списать! Маша, попроси Петра Николаича...

В это время Граша Бедрягин, соперничествуя с Мараевым на поприще литературы, встал с своего места и сказал с мрачным видом:

-- Господа, я тоже сочинил на днях одну вещь, которою хотел бы поделиться с вами... Это не то чтоб повесть -- нет, это просто идея, которая пришла мне в голову в одну из тех минут, когда сердце бывает полно презрения к человеку...

Кузнецов сомнительно покачал головою.

-- Коли хотите, -- продолжал Бедрягин с значительным видом, -- я хотел тут изобразить человека, как я понимаю его

Чтение началось, но не имело желанного успеха, потому, вероятно, что слушатели не достигли еще высоты идей Бедрягина, один Кузнецов слушал внимательно, да и тот потому более, что считал за нужное возражать своему вечному противнику.

Идеальный человек, которого хотел изобразить Граша в своем очерке, сильно напоминал своего автора. Унылов (так назывался он) даже страдал разлитием желчи, вечною болезнью Бедрягина; характер Унылова был скептический и угрюмый.

-- Он верил бы, -- говорил Бедрягин дрожащим голосом, -- и в жизнь (усмешка), и в изящное (усмешка, смешанная с легким хохотом), и в благое (просто хохот); но он знал, что это не стоит труда, и предоставил это мелким душам.

-- Нет, отчего же? -- возразил Кузнецов, -- не одни мелкие души верят в жизнь, и в изящное, и в благое! Напротив, мне кажется, и история доказывает...

Граша злобно взглянул на Кузнецова; впрочем, чтение кончилось без дальнейших неприятностей.

-- Однако ж, кажется, мы довольно послужили музам! -- сказал Яша Позиков, -- пора бы их и к... А нам бы пуншику, Авдотья Захарьевна!.. Послужили музам? а? Не правда ли -- музам? Ведь хорошо сказано? А?

-- Вам не скучно? -- спросила меня Маша, когда мы отошли несколько в сторону от компании.

-- Нет, а вы?

-- Да я привыкла, притом же они большею частию хорошие люди и любят меня. Вот это платье, что на мне теперь, это Мараев подарил.

-- Право? Платье недурно.

-- Да, вот видите ли... он ко мне... только ведь я вам это по секрету!.. питает слабость... а папенька хочет, чтоб женился, а он, разумеется, не соглашается.

-- Отчего же -- разумеется?

-- Как отчего? да он человек с состоянием, сын управляющего графа Д***, а я ничего не имею -- это уж и неловко!

-- Отчего же неловко, милая Марья Фоминишна?

-- Ах, какие вы, право, странные! Как же вы не понимаете: он богат -- ну, и ищет себе партию побогаче; зачем же ему со мной-то связываться? Я ему не пара...

-- Так, так, Марья Фоминишна, справедливо рассуждаете.

-- Насилу-то вы меня поняли! -- сказала она, -- вот, если б Владимир Иваныч... Вот это так пара! да тоже нельзя: нечем будет жить, папенька не отдаст!

-- И вас это не волнует?

-- Отчего же волновать? Пожалуй, волнуйся; ведь делу-то все-таки не поможешь!

-- Милая Маша...

-- Насилу-то вы называете меня просто Машей! а то -- "Марья Фоминишна", право, скучно! Вы друг моего Владимира, я хочу, чтоб вы были со мною попросту, без церемоний -- слышите?

-- Слышу, слышу, добрая Маша.

-- То-то же! А вот я завтра сама приду к вам, поближе познакомимся. Ведь правду-то сказать, я сама не хотела приходить к вам.

-- Отчего же, милая Маша?

-- А зачем вы сами у нас не бываете? Мне совестно, я вас не знала ну, а теперь...

-- Теперь вы позволите мне поцеловать вашу ручку?

-- Сколько угодно! даже в губы; только не теперь, теперь увидят, тогда и после нельзя будет... а притом мне пора и к гостям. До свидания! Пожалуйста, не скучайте; я опять скоро приду.

Но самый пафос вечера выразился в ужине. Еще за полчаса, едва послышалось вожделенное стучание тарелок, едва начали расставлять в зале столы, все как-то вдруг присмирело и замолкло; даже на лице Позикова, обыкновенно осклабляющемся, выразилось нечто серьезное, мыслящее. Как будто что ни происходило до сих пор, все это было только дрянь, совершенная дрянь перед тем, что ожидало впереди. Зато, когда подали ужин, все заняты были одним только делом -- едою, и в комнате, в полном смысле слова, можно было расслышать полет мухи, если б не звуки, производимые усердным стучаньем ножей и вилок. Самый голос Авдотьи Захарьевны, под стать этим звукам, делался как-то жалобен и дребежащ, когда она обращалась к гостям с просьбою отведать хитрого соуса или пирога, называемого, вследствие крайней своей воздушности, шпанскими ветрами, приготовлению которых научил ее в 1812 году повар-француз.

-- Ведь вот, батюшка, -- говорила она, обращаясь к соседу своему, -- и вражий народ, а меня научил -- дай бог ему здоровья!

-- Да, истинно вам скажу, -- отозвался на другом конце Фома Фомич, -- истинно бог один спас, никто, как бог! если б не он, царь небесный, так мы бы, кажется, давно...

Фома Фомич свистнул и махнул рукой, из чего присутствующие могли заметить, что в голове его происходили какие-то особые соображения.

Донского было выпито очень много, крымские вина тоже лились в изобилии, а под конец даже появилась бутылочка шампанского. Едва показалась эта бутылка, лица всех гостей превратились в одну самодовольную улыбку, а Фома Фомич, бывший, что называется, под куражом, взял ее, погладил, осмотрел со всех сторон и сказал, раскупоривая:

-- А, ну-ко ты, долговязая, показывай нам, что у тебя там есть! Да ты смотри у меня -- не дури, не то сейчас тебя по-нашему, по-свойски! Ведь ты -- французский народ, у тебя в голове-то вздор бродит...

И точно, вино оказалось послушно увещаниям Фомы Фомича и не дурило.

-- Ведь вот оно, -- говорил Вертоградов, наливая бокалы, -- ведь вот оно -- и не много его, самая малость, а ведь одиннадцать рублев дал, у Крича в погребе брал! Да зато уж и вино! Тем хороши эти немцы, что сдерут, нечего и говорить: ой, ой, ой, как сдерут! да зато и вещь, изволите видеть, что ни в рот, то спасибо!

И все гости встали вдруг и закричали ура и долголетие Фоме Фомичу.

-- Да вы, бабы, шли бы того, к себе, -- сказал Вертоградов, обращаясь к дамам и запинаясь на каждом слове, -- а нам бы винца, мы бы того... выпили, покалякали. Так вы ступайте... а там, коли встретится в вас какая ни на есть надобность, так мы и пришлем.

После ужина Фома Фомич решительно раскуражился.

-- А ведь оно того, -- говорил он с стаканом в руках, -- асессорство-то недурно! ведь это не то, что прежде. Прежде что? разночинец -- вот что! А теперь поди-ка ты -- сунься! ан, нет! с истинным

почтением и совершенною преданностью и прочая -- изволь-ко, брат, <нрзб> ! А! так, что ли? выпить, что ли?

Все молча согласились, что правда, и выпили.

-- Эй, Мишка! -- закричал Вертоградов маленькому сыну своему, как-то случайно очутившемуся в мужской компании, -- ты что не пьешь, собачий ты сын! Поди-ко ты сюда, сякой-такой, говори-ко ты мне, что ты за птица, кто ты таков?

-- Собачий -- отвечал Миша, оробев.

-- Собачий! ведь экой ты скот! ведь я тебе говорю "собачий сын" -- так, из ласки, а ты и заправду вздумал? Ну, говори же, кто твой отец?

-- Фома Фомич, -- отвечал Миша.

-- Глупое ты отродье! асессор, коллежский асессор! ну отвечай, чей же ты сын?

-- Собачий, -- снова повторил Миша.

-- Башка ты пустая! асессорский сын! ну, говори, кто же ты таков?

-- Асессорский сын, -- отвечал наконец Миша.

-- Да; асессорский сын! так-то, знай наших! Вина ему! вина асессорскому сыну!

И Мише действительно поднесли стакан, наполненный какою-то смешанною дрянью.

-- За здоровье Михаилы Фомича Вертоградова! -- заорал во все горло Фома Фомич, и все, как дикие звери, бросились на ребенка с намерением подкидывать его; и я не знаю, что бы случилось, если б мы с Валинским не освободили его и не увели в другие комнаты.

Что было потом, мне неизвестно, потому что я остался с женской компанией и не возвращался более в залу.

Когда я пришел, Маша сидела за фортепьяно и пела романс -- "Кто мог любить так страстно".

-- Как вы хорошо поете! -- сказал я, когда она кончила и мы вышли в соседнюю комнату.

-- Да, у меня есть голос, впрочем, музыка этого романса такая милая...

-- А можно теперь поцеловать вашу ручку?

-- Зачем же ручку? лучше в губы.

И она подставила мне свои губы.

-- А еще лучше и в губы, и в ручку, -- сказал я, взяв ее руку и целуя ее.

-- Так вам не скучно было у нас? -- спросила она.

-- О нет, совсем нет! Притом же я познакомился с вами, а это уж большое вознаграждение.

-- Да вы бы и после успели со мной познакомиться: ведь я не утерпела бы, пришла бы; ведь мне очень скучно одной, а Владимир так меня любит...

-- А вы его любите? -- спросил я.

-- Да, а что?

-- Так он очень счастлив, этот Владимир!

-- Потому что он немногого требует; он прост, очень прост, и за это-то я и люблю его так.

-- А если он вас разлюбит?

-- Разлюбит? не думаю... впрочем, может быть, это и будет когда-нибудь; да я, признаюсь вам, никогда не думала еще об этом.

-- Ну, а если?

-- Право, не знаю... да я и не претендую на вечную любовь; разумеется, придет когда-нибудь это время, но оно еще далеко.

-- Вы думаете? Ну, а тогда что?

-- Тогда?.. очень просто: мы расстанемся! Я очень хорошо понимаю, что он не может вечно любить меня, да и он не требует от меня этого... Вот видите ли, дело в том, чтоб эта разлука не стоила никому из нас слез...

-- А почему вы знаете, что тут обойдется без слез?

-- О, я уверена в этом! Ведь не вдруг же наступит эта холодность, а мало-помалу, притом это все-таки не помешает нам расстаться друзьями...

-- О, милая, бесценная Маша! вы просто сокровище! -- сказал я, целуя ее руку.

-- Что ж это вам так странно кажется? Я так, напротив, думаю, что иначе и быть не может.

-- Счастлив Валинский, что обладает вашею любовью! Я дал бы половину своей жизни, чтоб достигнуть этого счастья!

-- О, да вы, кажется, строите козни своему другу! -- сказала она, грозя мне пальцем и улыбаясь, -- что, если он узнает это?

В эту минуту Валинский, как нарочно, вошел в комнату.

-- Да вы, кажется, не на шутку подружились? -- сказал он, взяв ее за руку и поцеловав в лоб, -- что ж, он изъяснялся тебе в любви, что ли?

-- Да, есть немножко, -- отвечала она, лукаво смотря на меня, -- ну, да ничего, немножко пошалить можно

-- Я так и знал, что он влюбится, увидев тебя... Это уж такая натура, изволите видеть... Смотрите же, Андрей Павлыч, не по-старому, не так, как в Ряплове.

Я не отвечал ничего

-- Ну, а я пришел проститься, да и вам тоже, Андрей Павлыч, советую: пора и спать! Надеюсь, Маша, что ты не будешь больше дичиться его, тем более что он был так любезен сегодня?

-- Нет, нет! приду непременно, завтра же приду.

-- Ну, так прощай же, жизнь моя, -- сказал он, целуя ее, -- а Авдотья Захарьевна в таких хлопотах, гости разъезжаются, проводить всякого надобно.

-- Так что ж? для нас же лучше: не увидят. Прощай же, Владимир, да спи лучше, а то посмотри на себя, ведь ты ни на что не похож стал! бледный, худой... перекрести же меня!

Он перекрестил ее и снова поцеловал в лоб.

-- А мне-то вы ничего и не скажете на прощание? -- сказал я.

-- О нет, как же! и вам. Да видите ли, занятие то такое важное -- некогда было! Впрочем, за мною не пропадет.

-- Прощайте, прощайте, Маша! -- говорил я, целуя ее в губы, -- не забудьте же своего обещания.

-- Не забуду, приду непременно; ждите меня.

С этими словами мы вышли.

Вы можете себе представить, какую ночь провел я после этого знакомства. В самом деле, все в мире как будто на смех и на досаду мне делается, и любят-то меня такие, которым бы и знать меня вовсе не следовало, а там, где я мог бы быть счастлив, где я мог бы сделать счастье других, там уж поздно, там и место давно занято, и я, поневоле, должен оставаться один на один с собою, поневоле должен забавляться одними сомнениями, потому что забав иных не имеется.

Вообще, все мое существование -- какое-то неудавшееся, погибшее существование; оно, если хотите, и могло бы что-нибудь выйти из него, если бы да вот этого если-то именно и не имеется. И, признаюсь, мне иногда обидно и больно делается, когда другие веселятся, когда другие довольны собою, меня оскорбляет чужая радость, как обида, лично мне нанесенная в самую нежную, чувствительную струну моего существа! Все мне кажется, что это мое веселье у меня отняли, что моею радостью люди радуются, а я брожу себе в стороне один-одинешенек, и все гонюсь за чем-то, и все ничего не нахожу, как тот человек, который вечно искал потерянную тень свою!

И Маша, как нарочно, как будто с намерением, еще более растравляет мое бедствие, приходит каждый день и все более и более очаровывает меня своею непринужденною, детски естественною простотою. Часто бросается она ко мне на шею, целует меня в губы, и когда я, задыхаясь от страсти, в изнеможении падаю в кресло, она с хохотом вырывается из рук моих, забавляется моим смущением, позволяет себе всевозможные шутки и наконец снова целует, снова обнимает меня.

Однажды она пришла, когда Валинского не было дома.

-- Знаешь ли, Маша, -- сказал я после обыкновенных приветствий, -- что я скажу тебе?

-- Скажи, тогда и буду знать.

-- Ведь я люблю тебя, Маша.

-- В самом деле? да ведь я и прежде это знала! Ну, так что же?

-- Да я не так люблю, как ты думаешь.

-- А то как же!

-- Да я хотел бы... вот, видишь ли, Маша, я самый несчастный человек в мире!

-- Ну нет, я еще ничего не вижу...

-- Да я хотел бы, чтоб и ты меня любила...

-- А разве я не люблю тебя!

-- Я хотел бы, чтоб ты любила меня, как Владимира.

-- Вот вздор какой! а Владимир-то как же?

-- Ах, боже мой! разве я прошу тебя разлюбить его?

-- Ой, лукавите, Андрей Павлыч! право, лукавите.

-- Совсем нет; я говорю, что чувствую.

-- Да как же это я буду любить... обоих вместе?

-- Так и есть; я говорил, что я несчастнейший человек в мире!

-- Совсем нет... отчего же?

-- Как отчего! и ты спрашиваешь меня? Я люблю тебя, а ты меня не любишь.

Маша пристально взглянула на меня и задумчиво покачала головкою.

-- Нехорошо, Андрей Павлыч, -- сказала она с упреком, -- дурно изволите поступать!

-- Что же мне делать, Маша? ведь я люблю тебя! Не могу же я заставить себя быть равнодушным.

-- Я так и думала, -- сказала она дрожащим от слез голосом, -- скажите же мне, Андрей Павлыч, отчего нельзя никому довериться, нельзя ни с кем быть откровенною, чтоб не подать повода к различным заключениям?

-- Да ведь я не виноват, милая Маша! что ж мне делать, если я люблю тебя!

-- Ну, так мне остается одно только: не приходить к вам.

-- Маша, да разве ты не можешь уделить мне частичку своей любви!.. я был бы так счастлив...

-- Нет, если б я не любила его, тогда может быть... Вот видите ли, Андрей Павлыч, это совсем нельзя. И не думайте, чтоб я отказывала вам из того, чтоб не огорчить Валинского, совсем нет! я твердо уверена, что он даже внутренно не был бы на меня в претензии. Но я не могу любить другого точно так же, как его; мы так удачно подошли друг к другу... Нет! это невозможно, совсем невозможно, Андрей Павлыч, и мне, право, очень жаль, что у вас могла родиться такая мысль.

-- Да как же быть-то, милая Маша?

-- Как быть! Разумеется, оставить все времени: когда-нибудь эта блажь и пройдет!

-- А покуда-то, а до тех-то пор что мне делать, Маша?

-- Что делать! Быть со мною по-прежнему, быть твердым в бедствиях! -- отвечала она, улыбаясь.

-- Так, так, Маша; постараюсь; хорошо, если успею...

-- И, главное, не огорчаться, -- продолжала она, -- а если будешь думать много, никогда не выйдет у тебя из головы... Посмотри на Валинского; видал ли ты его когда-нибудь в затруднительном положении?

-- Да ему не на что жаловаться -- он имеет все, что желает!

-- Ну, не совсем-то все, потому что любовь далеко не составляет еще всего, однако ж он уживается, делает как может и что может, и не жалуется... Оттого-то, может быть, я и люблю его так.

-- Да, я чувствую, что ты права, Маша, да ведь натуры-то своей не переменишь!

-- Разумеется, да и менять не нужно! оставим это времени. Когда-нибудь она и сама собой переродится!

-- Да ведь до тех-то пор я все-таки буду несчастен!

-- Что же делать! Это, видно, уж такая твоя доля горемычная! всякому свое, нужно покориться... Обещаешь слушаться меня?

-- Буду стараться, Маша, а поручиться не могу.

-- Ну, так я не буду ходить... делать нечего.

-- Нет, нет, это еще хуже, уж лучше я обещаюсь.

-- Слово?

-- Честное слово.

-- А к чему же эта кислая мина?

-- Да ведь не могу же я радоваться, Маша!.. Маша, а Маша?..

-- Что еще?

-- Да, право, нельзя ли как-нибудь... подумай...

-- Опять!

-- Ну, ну, не буду; только ты, пожалуйста, приходи по-прежнему.

И поверите ли, в настоящую минуту я действительно ничего не чувствую к ней, кроме самой почтительной, тихой дружбы. Эта девушка своими простыми словами произвела во мне такую перемену, что я решительно не узнаю себя.

Так вот как мы живем да поживаем здесь! А впрочем, и Валинскому надо отдать справедливость: он как будто чувствует, что мне нужна помощь, что я еще не совсем выздоровел от своей прежней тяжкой болезни, и окружает меня самыми заботливыми попечениями, отдаляет

от меня всякую горестную мысль о завтрашнем дне и других неприятностях, которые кишмя кишат в жизни бедного человека.

Да и Андрей -- служитель -- такая, право, добрейшая душа! На днях купил в комнату чижика, а на окно поставил горшок герани. Все, говорит, веселее будет: и птичка божия что ни на есть споет, и по комнате душок приятный от растения будет... Право, весело!

А все-таки грустно, что она не любит меня! Мне все кажется, что с нею, именно с нею одною, только и мог бы я быть счастлив!..

Как вы думаете об этом предмете?

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

Еще одно последнее письмо об этой странной любви, которая измучила, истомила меня... В настоящую минуту мне так больно, я так весь изломан от беспрестанных ощущений, которые скопились в последнее время, так страдаю душевно и телесно, что и до сих пор нахожусь как будто под влиянием тяжкого кошмара. И потому прошу вас не сетовать на меня, если письмо мое будет несвязно -- это извиняется самыми обстоятельствами, в которых я нахожусь.

Надо вам сказать, что недели две назад, совершенно неожиданно, получил я письмо от Гурова. В нем меня извещали, что Таня находится при смерти и желает меня видеть. Не знаю, как выразить вам ощущение, которое почувствовал я при этой вести. Какое-то черное облако пронеслось перед моими глазами, и страшная, жгучая тоска овладела всем существом моим. Не знаю, хорошо ли я сделал, что поехал по приглашению Гурова, знаю только, что в ту минуту я не мог иначе сделать, потому что вся моя жизнь, все мое прошедшее влекло меня в эту сторону... Я вам говорю, что любовь к ней была единственною светлою минутою моей жизни, единственным счастием моим, а от счастия, как хотите, нельзя отказаться так легко. Итак, я не думал, я скакал туда, весь занятой одною только убивавшею меня мыслью -- мыслью, что, может быть, я застану только бездушный труп ее... Приехав, я прямо бросился в ее комнату.

Она лежала на постели, умирающая, почти мертвая; вокруг нее молчаливою вереницею стояли Гуров и все семейство Крошиных. Было что-то тяжелое, зловещее в этом всеобщем безмолвии. Сторы окон были опущены, по всей комнате разливался какой-то неопределенный, матовый полусвет; в углу тихо теплилась перед образом лампада, и ни малейшего движения, ни малейшего шороха -- как будто оцепенели все мускулы на этих суровых, очерствелых лицах, как будто страшное что-то совершалось в этих стенах.

Когда я вошел, Мария Ивановна приложила палец к губам и сделала мне знак, чтоб я не шумел. Только в эту минуту мог я хорошенько рассмотреть это чудное существо, которое я так преждевременно свел в могилу. Бледная, исхудалая, лежала она в изнеможении на постели; на ней была белая кофточка, а на голове надет маленький ночной чепчик; в этом наряде, так живо напоминавшем мне одну из лучших минут моей прошедшей любви, посреди окружавшего ее полумрака, она показалась мне призраком; что-то неземное, улетучивающееся было во всем существе ее, и потухающий взор, и полураскрытый рот, подернутый едва заметною улыбкой, и медленное, но ровное трепетание груди -- все веяло тихою, безмятежною грустью, сожалением об улетающей жизни, и вместе с тем как будто говорило: мне хорошо, я счастлива, я несусь легко и свободно далеко, далеко на вечные, святые небеса!..

Шум, произведенный моим приходом, вывел ее из легкого усыпления, в которое она до того времени была погружена. Она посмотрела на меня, но на лице ее не выразилось ни радости, ни грусти; по-прежнему осталось оно бледно и ровно, только едва заметное движение рукою показало мне, что она желает видеть меня ближе.

Я подошел.

-- А я ждала тебя, -- сказала она чуть внятно, -- я думала...

Она остановилась; дыхание ее сделалось трудно; невольные слезы полились из глаз моих.

-- Что ж ты плачешь? Ребенок ты, право, ребенок! -- сказала она. -- Не плачь, слезами не поможешь. Что ж делать? видно, так нужно, друг мой!.. А я бы хотела поговорить с тобою наедине... Мне многое, многое нужно сказать, пока я еще жива...

-- Ничего мне не жалко, -- продолжала она, когда все вышли, -- бог видит, что я без горести и без сожаления оставляю жизнь; но тебя... с тобой что будет?.. ведь ты не вынесешь... Для тебя, для тебя одного, хотела бы я еще пожить, хоть немного...

И она посмотрела на меня, и во взоре ее, уже слабом и полуугасшем, мелькнула искра нежности и чувства.

-- В тебе была вся моя радость, -- сказала она, -- с тобою была легка мне жизнь; все бы снесла, все бы приняла я, ради тебя... Теперь все кончено. Скажи ж мне, любишь ли, любил ли ты меня?

-- Люблю, любил, одну тебя любил, милая Таня! одну тебя и буду любить всю жизнь мою!

-- Я и знала, что ты любил меня -- да вот и любил, а ничего не вышло... Оттого-то и жаль мне тебя, что ты погибнешь один, что ты слаб, слаб, как дитя... А если б наша любовь была возможна! если б она удалась!.. Бедный! ты больше меня достоин сожаления! Я по крайней мере умираю... а ты остаешься жив.

-- Таня, милая Таня! простишь ли ты меня? Я много виноват перед богом и перед тобою!

-- О, я давно простила! Да ты и не виноват; ты и без того много сделал для меня: ты дал смысл моему существованию, ты был всем для бедной Тани! Притом же ты сам несчастен... я вижу, я понимаю, сколько тягости в этом бессилии... Обстоятельства давят, друг мой, обстоятельства жестоки... а мы не виноваты: что невозможно, то невозможно!

Она остановилась и сделала знак, чтоб я ее приподнял; я осторожно взял ее за талию и посадил на постели.

-- Похудела, подурнела я без тебя -- да я и сама много виновата, сама не все сделала, чтоб привязать тебя... теперь я и вижу, что для любви нужна пища, да уж поздно... А все-таки умирать жалко, жалко для тебя!

Она задумалась; чуть заметное облачко печали отуманило на минуту спокойное и светлое лицо ее; рука небрежно откинулась на подушку; кофточка распахнулась, и белое, как мрамор, плечико показалось из-за спущенной сорочки.

-- Посмотри, как похудела я! -- сказала она, указывая на свою шею, -- едва душа в теле держится... Да теперь уж и незачем!.. все кончено! бедная Таня!

-- О, я не переживу тебя, я соединюсь с тобой! -- говорил я, покрывая поцелуями ее руки.

-- Нет, не нужно, я не хочу этого, друг мой!.. Вот видишь ли, жизнь так хороша, так много привлекательного, зовущего в ней, что грустно, невыносимо тяжело умирать... нет, ты живи, ты должен жить -- и бог не простит тебе, если ты вздумаешь...

Слабою и дрожащею рукою привлекла она меня к себе.

-- А я все смотрю и насмотреться на тебя не могу, -- сказала она сквозь слезы, -- ведь ты был единственною радостью моей жизни!.. Помнишь ли тот вечер?.. мы были вдвоем... ты глядел мне в глаза -- где это время?

И когда я, задыхаясь от слез и рыдания, почти без чувства бросился к ней на грудь...

-- Полно же, перестань, мой друг, -- сказала она едва слышно, -- в эту минуту все должно успокоиться... О, я чувствую, чувствую, что конец мой близок...

И вдруг она упала навзничь, и лицо ее помертвело. В испуге я схватился за колокольчик и хотел звонить, но она удержала меня.

-- Нет, не нужно, -- шептала она, -- не нужно... Я умираю... я хочу умереть... наедине с тобою.

Глаза ее вперились в воздух и сделались неподвижны.

-- Ты видишь, -- сказала она, вся трепеща от страха, -- ты видишь... там стоят люди... они идут, они за мной. Душно мне, душно!.. Прощай, будь счастлив.

Через полчаса она лежала на столе, вся в белом, и деревенский дьячок читал над нею молитвы.

И она умерла! умерла при мне, на моих руках!

Так кончилась единственная эпоха моей жизни, в продолжение которой я имел право сказать, что я живу.

В Москве меня встретили друзья мои: Маша, Валинский и Андрей. Все они показали много участия в моей горести, хотя никто и не подумал утешать меня. В самом деле, в подобных случаях ничего не может быть несноснее, неделикатнее утешителей: они колют глаза, они еще более растравляют ваши раны, противопоставляя вашему горю свое черствое спокойное довольство. И долгое время сидел я, запершись в своей комнате, и не мог ни с кем сказать слово: так тяжело давило меня мое горе!

Но теперь, когда я спокойно рассуждаю, прав ли я, предаваясь такому горькому отчаянию, то, признаюсь, не могу не решить этого вопроса скорее в отрицательную, нежели в положительную сторону. Конечно, я многое потерял; конечно, в этом минутном проблеске жизни среди безжизния было много увлекательного, много младенчески светлого и упоительного; но ведь минута все-таки не заключает в себе целой жизни, все-таки остается минутою. Недостойно и постыдно для человека погибнуть и распасться под ударом слепого, неразумного случая; недостойно всю жизнь обратить в одну только сторону, всю деятельность ограничить одною только сферою, когда перед ним расстилается широкая и необозримая дорога, когда ему предстоит внесть свою долю мысли, сказать свое слово в общем, вековом труде человечества!

И Таня была права, тысячу раз права, когда говорила, что я должен жить, что моя собственная совесть накажет меня, если я буду отчаиваться! Да, она накажет меня сознанием великой бесполезности всего моего существования, сознанием, что все трудятся, все, по мере сил, работают на благо общее, и один я лишний на свете, и, как негодный, полусгнивший член тела, засвидетельствовал жизнь свою только тем, что заражал прочие, здоровые части стройного целого.

А между тем, как посмотрю я внимательно -- какую же пользу могу принести я? какое же слово суждено мне сказать в общей речи человечества? Не вижу, не вижу я ничего! Деятельность моя совсем парализирована! Уж не говорю я об воле -- воли нет и не может быть, -- но страсти, энергии нет во мне! Весь я одряхлел, ослабел, распался -- и с горечью смотрю на развалины моего бесполезного прошедшего!

А отчего все это? Оттого, что мне не дано практического понимания действительности, оттого, что ум мой воспитали мечтаниями, не дали ему окрепнуть, отрезвиться и пустили наудачу по столбовой дороге жизни! И естественно, что всякий шаг был для меня камнем преткновения, что я ничего не понял в действительности и стал ругаться над ее нелепостью, проклинать гнетущую ее силу!.. И когда навели меня на истинный путь, когда указали мне, что все в жизни имеет связь и смысл, что нелепость существует в моем воображении, а на деле все понятно и стройно, когда я сознал все это -- было уже поздно! Прежняя моя праздная и ничтожная жизнь погубила во мне всякую искру деятельности, притупила всякую энергию, и я по-прежнему остался один с своими сомнениями, беспрестанно стараясь примирить противоречие теории и практики, разума и жизни, и всегда без успеха, потому что между теориею и жизнью не было посредствующего члена, не было деятельности, которая одна только в состоянии совершить великое дело примирения.

Даже и теперь, как вы видите, я нахожусь в подобном же положении. Меня и убивает смерть Тани (даже от отчаяния, от самоубийства я, пожалуй, не прочь), и между тем не хочу отчаяния, не хочу смерти, потому что недостойно человека упасть духом и ослабеть перед ударом слепого неразумного случая! Видите ли, какое жалкое рассуждение!

Везде, всю жизнь искал я средины, везде хотел примирить крайности и жить разумно -- и чего же достиг? Достиг того, что сознаю нелепость крайностей, отстал от них, а средины-то, разума-то все-таки не добился, и вишу теперь на воздухе, не зная, что я и куда несет меня поток жизни, и дела мне нет до того, принесет ли он меня куда-нибудь.

Среди всеобщего движения, среди этой вечно трудящейся, без отдыха работающей толпы, я -- совершенный анахронизм -- вижу много хорошего, что остается сделать, -- и не могу ни к чему приступиться; чувствую всю тягость, всю неестественность своей жизни -- и не могу сделать ни шага, чтоб выйти из нее... Право, положение было бы даже очень забавно, если б слишком близко не касалось нежнейших струн существа моего.

С грустью и недовольством смотрю я на мое прошедшее, мое настоящее, мое будущее. Что было в моей прежней жизни? -- сомнения! Что в настоящем моем? -- сомнения! Что в будущем? -- сомнения! Нигде ничего верного, нигде светлой мысли, на которой можно бы остановить взор свой, отдохнуть душою, нигде факта, на который можно было бы опереться и с гордостью сказать: это мое дело, это я сделал! Все, что я сделал, точно так же может быть сделано и учеником на школьной скамейке: и он тоже ничего не знает, и он ни к чему приступиться не может!.. Да; есть много таких характеров, которые вдали кажутся и огромными и величественными, а вблизи

преобидно умаляются. Что в том, что я много наблюдал, многому выучился, многое вычитал?.. что в том пользы, говорю я, когда у меня руки не поднимаются, ноги не ходят? Все это знание больше ничего, как слова, слова, слова... Да и вся жизнь моя не более как противоречия, противоречия, противоречия...

Федор Достоевский

Справочный материал

Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве. Был вторым из 7 детей. Отец писателя - врач (штаб-лекарь) московской Мариинской больницы для бедных. В 1828 получил звание потомственного дворянина. Мать - Мария Фёдоровна Достоевская (Нечаева) умерла 27 февраля 1837 года в возрасте 37 лет.

1837 год стал важной датой в жизни Ф. М. Достоевского. В 1837 году умирает его мать. Это год смерти А. С. Пушкина. В мае 1837 года Фёдор Достоевский и его старший брат Михаил едут в Петербург для поступления в Инженерное училище.

16 января 1838 года Ф. М. Достоевский зачислен в Инженерное училище. Вокруг Достоевского в училище образуется литературный кружок. В 1839 году он получает известие об убийстве отца крепостными крестьянами.

29 ноября 1840 года Федор Михайлович Достоевский произведен в унтер-офицеры. А уже 5 августа 1841 года переведен в полевые инженер-прапорщики. В августе 1842 года зачисление Достоевского в инженерный корпус при чертежной Инженерного департамента.

19 октября 1844 года последовал высочайший указ об увольнении от службы Ф. М. Достоевского по домашним обстоятельствам. В этот период он начинает активно заниматься творчеством. Впервые в книжках журнала "Репертуар и Пантеон" напечатан роман Бальзака "Евгения Гранде" в переводе Достоевского. В 1844 он начинает и в мае 1845 заканчивает роман "Бедные люди". Осенью 1845 года Федор Михайлович совместно с Некрасовым и Григоровичем составляет анонимное программное объявление к альманаху "Зубоскал". В это же время происходит знакомство писателя с И. С. Тургеневым, В. Ф. Одоевским, В. А. Соллогубом.

Зимой 1847 года в отношениях Достоевского и Белинского происходит конфликт. Весной того же года писатель начинает посещать «пятницы» Петрашевского. В газете "Санкт-Петербургские ведомости" напечатан цикл фельетонов Ф. М. Достоевского под общим названием "Петербургская летопись".

В июле 1847 года у писателя случается первый сильный припадок эпилепсии. В период с 1847 по 1849 год Достоевским был написано ряд произведений: лето 1847 года повесть "Хозяйка", в 1848 рассказ "Чужая жена (Уличная сцена)", повесть "Слабое сердце" и "Рассказы бывалого человека (Из записок неизвестного)". В 1849 в январской и февральской книжках "Отечественных записок" опубликованы первые две части романа Федора Михайловича Достоевского "Неточка Незванова".

29 апреля 1849 года началось следствие по делу петрашевцев. 22 декабря 1849 Ф.М. Достоевский вместе с другими ожидал исполнения смертного приговора, но по резолюции Николая I казнь была заменена ему 4-летней каторгой с лишением "всех прав состояния" и последующей сдачей в солдаты. С 1850 по 1854 Достоевский вместе с Дуровым отбывал каторгу в Омской крепости.

Весной 1857, после длительных хлопот прокурора, писателю было возвращено потомственное дворянство.

6 февраля 1857 года Федор Михайлович Достоевский женился на овдовевшей М.Д. Исаевой.

В июне 1862 Достоевский впервые выехал за границу. Он посетил Англию, Германию, Италию, Францию, Швейцарию.

15 апреля 1864 года от чахотки умирает жена писателя, а 10 июня его брат Михаил.

Зимой 1867 стенографистка А. Г. Сниткина становится женой Ф. М. Достоевского. С апреля 1867 до июля 1871 Достоевский с женой живет за границей. За этот период в их семье рождается четверо детей: 22 февраля 1868 родилась дочь Софья, внезапную смерть которой (май того же года) Достоевский тяжело переживал, 14 сентябре 1869 родилась дочь Любовь, в России 16 июля 1871 — сын Фёдор, 12 августа 1875 — сын Алексей, умерший в трехлетнем возрасте от припадка эпилепсии.

*28 января 1881 года скончался Федор Михайлович Достоевский***.**

Бобок [43]

На этот раз помещаю "Записки одного лица". Это не я, это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия.

ЗАПИСКИ ОДНОГО ЛИЦА

Семен Ардальонович третьего дня мне как раз:

-- Да будешь ли ты, Иван Иваныч, когда-нибудь трезв, скажи на милость?

Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: "Все-таки ты, говорит, литератор" Я дался, он и выставил. Читаю: "Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо"

Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо всё благородное; идеалов надо, а тут...

Скажи по крайней мере косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательства заместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти. Написал повесть -- не напечатали. Написал фельетон -- отказали Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали "Соли, говорят у вас нет"

-- Какой же тебе соли,-- спрашиваю с насмешкою,-- аттической?

Даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам: "Редкость! Красненький, дескать, чай, с собственных плантаций..." За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. "Искусство нравиться дамам" по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю, за моею полною подписью. Всё увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе сороковое письмо за два года послал; четыре рубля на одни почтовые марки истратил. Характер у меня скверен, вот что.

Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради двух моих симметрических бородавок на лбу: феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки,-- живые! Это они реализмом зовут.

А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом: "При таком, дескать, самобытном таланте... и вот что под самый конец оказалось... впрочем, давно уже надо было предвидеть..." Это еще довольно хитро; так что с точки частого

[43] Воспроизводится по изданию: Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 15 томах. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1994. Т. 12.

искусства даже и похвалить можно. Ну а те вдруг еще умней воротились. То-то, свести-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали.

Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет,-- способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали.

Припоминается мне испанская острота, когда французы, два с половиною века назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом: "Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные". Оно и впрямь: тем, что другого запрешь в сумасшедший, своего ума не докажешь. "К. с ума сошел, значит, теперь мы умные". Нет, еще не значит.

Впрочем, черт... и что я с своим умом развозился: брюзжу, брюзжу. Даже служанке надоел. Вчера заходил приятель: "У тебя, говорит, слог меняется, рубленый. Рубишь, рубишь -- и вводное предложение, потом к вводному еще вводное, потом в скобках еще что-нибудь вставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь..."

Приятель прав. Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: "Бобок, бобок, бобок!"

Какой такой бобок? Надо развлечься.

Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник. Коллежский, однако, советник. Вдова, пять дочерей, все девицы. Ведь это только по башмакам, так во что обойдется! Покойник добывал, ну а теперь -- пенсионишка. Подожмут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошел бы я и теперь, если бы не экстренный такой случай. Провожал до кладбища в числе других; сторонятся от меня и гордятся. Вицмундир мой действительно плоховат. Лет двадцать пять, я думаю, не бывал на кладбище; вот еще местечко!

Во-первых, дух. Мертвецов пятнадцать наехало. Покровы разных цен; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом.

В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных даже очень. Не люблю; снятся.

За обедней вышел из церкви на воздух; день был сероват, но сух. Тоже и холодно; ну да ведь и октябрь же. Походил по могилкам. Разные разряды. Третий разряд в тридцать рублей: и прилично и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью; ну, это кусается. В третьем разряде за этот раз хоронили человек шесть, в том числе генерала и барыню.

Заглянул в могилки -- ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел, пока служба, побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подальше и ресторан. И так себе, недурной ресторанчик: и закусить, и всё. Набилось много и из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил.

Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим... или какой-то вздор в этом роде; противоречит механике и здравому смыслу. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности; а у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии.

На литию не поехал. Я горд, и если меня принимают только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным? Не понимаю только, зачем остался на кладбище; сел на памятник и соответственно задумался.

Начал с московской выставки, а кончил об удивлении, говоря вообще как о теме. Об "удивлении" я вот что вывел:

"Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивее и почему-то признано за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо

глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать. Да глупый человек и не может уважать".

-- Да я прежде всего желаю уважать. Я жажду уважать,-- сказал мне как-то раз на днях один мой знакомый.

Жаждет он уважать! И боже, подумал я, что бы с тобой было, если б ты это дерзнул теперь напечатать!

Тут-то я и забылся. Не люблю читать надгробных надписей; вечно то же. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд: глупо и не к месту. Скинул его на землю, так как это не хлеб, а лишь бутерброд. Впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол грешно. Справиться в календаре Суворина.

Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком; то есть даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу -- звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.

-- Ваше превосходительство, это просто никак невозможно-с. Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубен-с.

-- Что же, значит, играть наизусть? Где же привлекательность?

-- Нельзя, ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтоб была одна темная сдача.

-- Ну, болвана здесь не достанешь.

Какие заносчивые, однако, слова! И странно и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко услащенный; не поверил бы, если б не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферанс, и какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике:

"Здесь покоится тело генерал-майора Первоедова... таких-то и таких орденов кавалера". Гм. "Скончался в августе сего года... пятидесяти семи... Покойся, милый прах, до радостного утра!"

Гм, черт, в самом деле генерал! На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника; была только плитка; должно быть, из новичков. По голосу надворный советник.

-- Ох-хо-хо-хо! -- послышался совсем уже новый голос, саженях в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки,-- голос мужской и простонародный, но расслабленный на благоговейно-умиленный манер.

-- Ох-хо-хо-хо!

-- Ах, опять он икает! -- раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздраженной дамы, как бы высшего света.-- Наказание мне подле этого лавочника!

-- Ничего я не икал, да и пищи не принимал, а одно лишь это мое естество. И все-то вы, барыня, от ваших здешних капризов никак не можете успокоиться.

-- Так зачем вы сюда легли?

-- Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлег. Смерти таинство! И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое злато; а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.

-- Накопил; людей обсчитывал?

-- Чем вас обсчитаешь-то, коли с января почитай никакой вашей уплаты к нам не было. Счетец на вас в лавке имеется.

-- Ну уж это глупо; здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо! Ступайте наверх. Спрашивайте у племянницы; она наследница.

-- Да уж где теперь спрашивать и куда пойдешь. Оба достигли предела и пред судом божиим во гресех равны.

-- Во гресех! -- презрительно передразнила покойница.-- И не смейте совсем со мной говорить!

-- Ох-хо-хо-хо!

-- Однако лавочник-то барыни слушается, ваше превосходительство.

-- Почему же бы ему не слушаться?

-- Ну да известно, ваше превосходительство, так как здесь новый порядок.

-- Какой же это новый порядок?

-- Да ведь мы, так сказать, умерли, ваше превосходительство.

-- Ах, да! Ну всё же порядок...

Ну, одолжили; нечего сказать, утешили! Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, штуки! Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием.

-- Нет, я бы пожил! Нет... я, знаете... я бы пожил! -- раздался вдруг чей-то новый голос, где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.

-- Слышите, ваше превосходительство, наш опять зато же. По три дня молчит-молчит, и вдруг: "Я бы пожил, нет, я бы пожил!" И с таким, знаете, аппетитом, хи-хи!

-- И с легкомыслием.

-- Пронимает его, ваше превосходительство, и, знаете, засыпает, совсем уже засыпает, с апреля ведь здесь, и вдруг :"Я бы пожил!"

-- Скучновато, однако,-- заметил его превосходительство.

-- Скучновато, ваше превосходительство, разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?

-- Нет уж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы.

-- А я, напротив, вас обоих терпеть не могу,-- брезгливо откликнулась крикса.-- Оба вы самые прескучные и ничего не умеете рассказать идеального. Я про вас, ваше превосходительство,-- не чваньтесь, пожалуйста,-- одну историйку знаю, как вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел.

-- Скверная женщина! -- сквозь зубы проворчал генерал.

-- Матушка, Авдотья Игнатьевна,-- возопил вдруг опять лавочник,-- барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, али что иное деется?..

-- Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он ворочается!

-- Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле как есть сохранил себя, а вот вы, барынька, так уж тронулись,-- потому дух действительно нестерпимый, даже и поздешнему месту. Из вежливости только молчу.

-- Ах, скверный обидчик! От самого так и разит, а он на меня.

-- Ох-хо-хо-хо! Хоша бы сороковинки наши скорее пристигли: слезные гласы их над собою услышу, супруги вопль и детей тихий плач!..

-- Ну, вот об чем плачет: нажрутся кутьи и уедут. Ах, хоть бы кто проснулся!

-- Авдотья Игнатьевна,-- заговорил льстивый чиновник.-- Подождите капельку, новенькие заговорят.

-- А молодые люди есть между ними?

-- И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. Юноши даже есть.

-- Ах, как бы кстати!

-- А что, не начинали еще?-- осведомился его превосходительство.

-- Даже и третьёводнишние еще не очнулись, ваше превосходительство, сами изволите знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли. А то ведь кругом сажен на десять почти все у нас прошлогодние.

-- Да, интересно.

-- Вот, ваше превосходительство, сегодня действительного тайного советника Тарасевича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком, давеча гроб опускал.

-- Гм, где же он тут?

-- Да шагах в пяти от вас, ваше превосходительство, влево. Почти в самых ваших ногах-с... Вот бы вам, ваше превосходительство, познакомиться.

-- Гм, нет уж... мне что же первому.

-- Да он сам начнет, ваше превосходительство. Он будет даже польщен, поручите мне, ваше превосходительство, и я...

-- Ах, ах... ах, что же это со мной?-- закряхтел вдруг чей-то испуганный новенький голосок.

-- Новенький, ваше превосходительство, новенький, слава богу, и как ведь скоро! Другой раз по неделе молчат.

-- Ах, кажется, молодой человек!-- взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

-- Я... я... я от осложнения, и так внезапно!-- залепетал опять юноша.-- Мне Шульц еще накануне: у вас, говорит, осложнение, а я вдруг к утру и помер. Ах! Ах!

-- Ну, нечего делать, молодой человек,-- милостиво и очевидно радуясь новичку заметил генерал,-- надо утешиться! Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильев Первоедов, к вашим услугам.

-- Ах, нет! нет, нет, это я никак! Я у Шульца; у меня, знаете, осложнение вышло, сначала грудь захватило и кашель, а потом простудился: грудь и грипп... и вот вдруг совсем неожиданно... главное, совсем неожиданно.

-- Вы говорите, сначала грудь,-- мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка.

-- Да, грудь и мокрота, а потом вдруг нет мокроты и грудь, и дышать не могу... и знаете...

-- Знаю, знаю. Но если грудь, вам бы скорее к Эку, а не к Шульцу.

-- А я, знаете, всё собирался к Боткину... и вдруг...

-- Ну, Боткин кусается,-- заметил генерал.

-- Ах, нет, он совсем не кусается; я слышал, он такой внимательный и всё предскажет вперед.

-- Его превосходительство заметил насчет цены,-- поправил чиновник.

-- Ах, что вы, всего три целковых, и он так осматривает, и рецепт... и я непременно хотел, потому что мне говорили... Что же, господа, как же мне, к Эку или к Боткину?

-- Что? Куда?-- приятно хохоча, заколыхался труп генерала. Чиновник вторил ему фистулой.

-- Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! -- восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна.-- Вот если б этакого подле положили!

Нет, этого уж я не могу допустить! и это современный мертвец! Однако послушать еще и не спешить заключениями. Этот сопляк новичок -- я его давеча в гробу помню -- выражение перепуганного цыпленка, наипротивнейшее в мире! Однако что далее.

Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись: проснулся чиновник, из статских советников, и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в министерстве -- дел и о вероятном, сопряженном с подкомиссией, перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать в сей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер, но долго еще бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец, обнаружила признаки могильного воодушевления схороненная поутру под катафалком знатная барыня. Лебезятников (ибо льстивый и ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова, по имени оказался Лебезятниковым) очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но все хихикавшая... мерзко и плотоядно хихикавшая.

-- Ваше превосходительство, тайный советник Тарасевич просыпаются! -- возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайною торопливостью.

-- А? что? -- брезгливо и сюсюкающим голосом прошамкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно-повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в последние дни нечто слышал о сем Тарасевиче -- соблазнительное и тревожное в высшей степени.

-- Это я-с, ваше превосходительство, покамест всего только я-с.

-- Чего просите и что вам угодно?

-- Единственно осведомиться о здоровье вашего превосходительства; с непривычки здесь каждый с первого разу чувствует себя как бы в тесноте-с... Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с вашим превосходительством и надеются...

-- Не слыхал.

-- Помилуйте, ваше превосходительство, генерал Первоедов, Василий Васильевич...

-- Вы генерал Первоедов?

-- Нет-с, ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников-с к вашим услугам, а генерал Первоедов...

-- Вздор! И прошу вас оставить меня в покое.

-- Оставьте,-- с достоинством остановил наконец сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента.

-- Не проснулись еще, ваше превосходительство, надо иметь в виду-с; это они с непривычки-с: проснутся и тогда примут иначе-с...

-- Оставьте,-- повторил генерал.

-- Василий Васильевич! Эй вы, ваше превосходительство! -- вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос -- голос барский и дерзкий, с утомленным по моде выговором и с нахальною его скандировкою,-- я вас всех уже два часа наблюдаю; я ведь три дня лежу; вы помните меня, Василий Васильевич? Клиневич, у Волоконских встречались, куда вас, не знаю почему, тоже пускали.

-- Как, граф Петр Петрович... да неужели же вы... и в таких молодых годах... Как сожалею!

-- Да я и сам сожалею, но только мне все равно, и я хочу отвсюду извлечь всё возможное. И не граф, а барон, всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки, из лакеев, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь "милым полисоном". Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята en haut lieu.[1] Я с Зифелем-жидом на пятьдесят тысяч прошлого года фальшивых бумажек провел, да на него и донес, а деньги все с собой Юлька Charpentier de Lusignan увезла в Бордо. И, представьте, я уже совсем был помолвлен -- Щевалевская, трех месяцев до шестнадцати недоставало, еще в институте, за ней тысяч девяносто дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как вы меня, лет пятнадцать назад, когда я еще был четырнадцатилетним пажом, развратили?

[1] в высших сферах *(франц.).*

-- Ах, это ты негодяй, ну хоть тебя бог послал, а то здесь...

-- Вы напрасно вашего соседа негоцианта заподозрили в дурном запахе... Я только молчал да смеялся. Ведь это от меня; меня так в заколоченном гробе и хоронили.

-- Ах, какой мерзкий! Только я все-таки рада; вы не поверите, Клиневич, не поверите, какое здесь отсутствие жизни и остроумия.

-- Ну да, ну да, и я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше превосходительство,-- я не вас, Первоедов,-- ваше превосходительство, другой, господин Тарасевич, тайный советник! Откликнитесь! Клиневич, который вас к m-lle Фюри постом возил, слышите?

-- Я вас слышу, Клиневич, и очень рад, и поверь-те...

-- Ни на грош не верю, и наплевать. Я вас, милый старец, просто расцеловать хочу, да, слава богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот grand-père[2] [*дедушка (франц.)*]сочинил? Он третьего дня аль четвертого помер и, можете себе представить, целых четыреста тысяч казенного недочету оставил? Сумма на вдов и сирот, и он один почему-то хозяйничал, так что его под конец лет восемь не ревизовали. Воображаю, какие там у всех теперь длинные лица и чем они его поминают? Не правда ли, сладострастная мысль! Я весь последний год удивлялся, как у такого семидесятилетнего старикашки, подагрика и хирагрика, уцелело еще столько сил на разврат, и -- и вот теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты -- да одна уже мысль о них должна была раскалять его!.. Я про это давно уже знал, один только я и знал, мне Charpentier передала, и как я узнал, тут-то я на него, на святой, и налег по-приятельски: "Подавай двадцать пять тысяч, не то завтра обревизуют"; так, представьте, у него только тринадцать тысяч тогда нашлось, так что он, кажется, теперь очень кстати помер. Grand-père, grand-père, слышите:·

-- Cher Клиневич, я совершенно с вами согласен и напрасно вы... пускались в такие подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия... я пожелал наконец успокоиться и, сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда всё...

-- Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал. Катишь Берестову!

-- Какую?.. Какую Катишь?-- плотоядно задрожал голос старца.

-- А-а, какую Катишь? А вот здесь, налево, в пяти шагах от меня, от вас в десяти. Она уж здесь пятый день, и если б вы знали, grand-père, что это за мерзавочка... хорошего дома, воспитанна и -- монстр, монстр до последней степени! Я там ее никому не показывал, один я изнал... Катишь, откликнись!

-- Хи-хи-хи! -- откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нем послышалось нечто вроде укола иголки.-- Хи-хи-хи!

-- И блон-ди-ночка?-- обрывисто в три звука пролепетал grand-père.

-- Хи-хи-хи!

-- Мне... мне давно уже,-- залепетал, задыхаясь, старец,-- нравилась мечта о блондиночке... лет пятнадцати... и именно при такой обстановке...

-- Ах, чудовище! -- воскликнула Авдотья Игнатьевна.

-- Довольно! -- порешил Клиневич,-- я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время; но какое время? Эй, вы, чиновник какой-то, Лебезятников, что ли, я слышал, что вас так звали!

-- Лебезятников, надворный советник, Семен Евсеич, к вашим услугам и очень-очень-очень рад.

-- Наплевать, что вы рады, а только вы, кажется, здесь всё знаете. Скажите, по-первых (я еще со вчерашнего дня удивляюсь), каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся? Что за фокусы?

-- Это, если б вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить.

-- Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу.

-- Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот три месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к делу.

-- К делу, к делу!..

-- Он объясняет всё это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это -- не умею вам выразить -- продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три... иногда даже полгода... Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: "Бобок, бобок",-- но и в нем, значит, жизнь всё еще теплится незаметною искрой...

-- Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?

-- Это... хе-хе... Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная -- хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться... и что это, так сказать, последнее милосердие... Только мне кажется, барон, всё это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении...

-- Довольно, и далее, я уверен, всё вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов -- бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!

-- Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! -- послышались многие голоса, и, странно, послышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

-- Ах, как я хочу ничего не стыдиться! -- с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

-- Слышите, уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться...

-- Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!

-- Я понимаю, Клиневич,-- пробасил инженер,-- что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах.

-- Ну, это мне наплевать! На этот счет подождем Кудеярова, вчера принесли. Проснется и вам всё объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащат еще одного естественника, одного офицера наверно и, если не ошибаюсь, дня через три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними, но только нас соберется своя кучка и у нас всё само собою устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя

расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Всё это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!

-- Обнажимся, обнажимся! -- закричали во все голоса.

-- Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! -- взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

-- Ах... ах... Ах, я вижу, что здесь будет весело, я нехочу к Эку!

-- Нет, я бы пожил, нет, знаете, я бы пожил!

-- Хи-хи-хи! -- хихикала Катишь.

-- Главное, что никто не может нам запретить, и хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукой он меня все-таки не достанет. Grand-père, вы согласны?

-- Я совершенно, совершенно согласен и с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катишь начнет первая свою би-о-графию.

-- Протестую! протестую изо всех сил,-- с твердостию произнес генерал Первоедов.

-- Ваше превосходительство! -- в торопливом волнении и понизив голос лепетал и убеждал негодяй Лебезятников,-- ваше превосходительство, ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся. Тут, знаете, эта девочка... и наконец, все эти разные штучки..

-- Положим, девочка, но...

-- Выгоднее, ваше превосходительство, ей-богу бы выгоднее! Ну хоть для примерчика, ну хоть попробуем...

-- Даже и в могиле не дадут успокоиться!

-- Во-первых, генерал, вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на вас на-пле-вать,-- проскандировал Клиневич.

-- Милостивый государь, прошу, однако, не забываться.

-- Что? Да ведь вы меня не достанете, а я вас могу отсюда дразнить, как Юлькину болонку. И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик!

-- Нет, не пшик... я и здесь...

-- Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется шесть, медных пуговиц.

-- Браво, Клиневич, ха-ха-ха! -- заревели голоса.

-- Я служил государю моему... я имею шпагу...

-- Шпагой вашей мышей колоть, и к тому же вы ее никогда не вынимали.

-- Все равно-с, я составлял часть целого.

-- Мало ли какие есть части целого.

-- Браво, Клиневич, браво, ха-ха-ха!

-- Я не понимаю, что такое шпага,-- провозгласил инженер.

-- Мы от пруссаков убежим, как мыши, растреплют в пух! -- прокричал отдаленный и неизвестный мне голос, но буквально захлебывавшийся от восторга.

-- Шпага, сударь, есть честь! -- крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны.

-- Да поскорей же, поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться!

-- Ох-хо-хо! воистину душа по мытарствам ходит!-- раздался было голос простолюдина, и...

И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный: всё смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились, решились же ничего не стыдиться! Я прождал минут с пять и -- ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса в полицию; ибо что может тут сделать полиция? Заключаю невольно, что все-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному и которую они тщательно скрывают от всякого смертного.

"Ну, подумал, миленькие, я еще вас навещу" -- и с сим словом оставил кладбище.

Нет, этого я не могу допустить; нет, воистину нет! Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то, и оказался!).

Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и -- даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и... А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить...

Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное.

А к тем напременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдотцы. Тьфу! Но пойду, непременно пойду, дело совести!

Снесу в "Гражданин"; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает.[44]

Крокодил

Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже

справедливая повесть о том, как один господин, известных лет и известной наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка, и что из этого вышло[45]

Ohé Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert?
Эй, Ламбер! Где Ламбер? Видел ты Ламбера? (франц.)

I

Сего тринадцатого января текущего шестьдесят пятого года, в половине первого пополудни, Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеича, образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в Пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда (не столько по болезни, сколько из любознательности) за границу, -- а следственно, уже считаясь по службе в отпуску и, стало быть, будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеич не только не воспрепятствовал

---

[44] Впервые опубликовано в газете-журнале "Гражданин" (1873. 5 февр. N 6. С. 162--166) с подписью: Ф. Достоевский.

Рассказ был задуман в январе 1873 г. Черновой автограф начала статьи "Мечты и грезы", опубликованной Достоевским лишь в мае, содержит сентенцию об удивлении, вошедшую в рассказ "Бобок". В автографе сентенция была связана с рассуждениями о суде над Нечаевым, отчет о котором публиковался в "Правительственном вестнике" (Правит. вести. 1873. 2 янв. N 10) и других газетах, и размышлениями над книгой социолога А. И. Стронина "Политика как наука" (СПб., 1872). Почти полностью перенеся из чернового автографа статьи "Мечты и грезы" мысль об удивлении и последующую реплику "одного из моих знакомых", Достоевский устранил намеки на конкретные злободневные причины, способствовавшие рождению сентенции.

Замысел рассказа связан с появлением в газете "Голос" журнальной заметки Л. К. Панютина (1831--1882; псевдоним "Нил Адмирари"). Внимание Достоевского привлекло следующее место в этой заметке: ""Дневник писателя" <...> напоминает известные записки, оканчивающиеся восклицанием: "А все-таки у алжирского бея на носу шишка!" Довольно взглянуть на портрет автора "Дневника писателя", выставленный в настоящее время в Академии художеств (имеется в виду известный портрет работы В. Г. Перова -- Ред.), чтобы почувствовать к г-ну Достоевскому ту самую "жалостливость", над которою он так некстати глумится в своем журнале. Это портрет человека, истомленного тяжким недугом" (Голос. 1873. 14 янв N 14).

Герой "Бобка" так отвечает на недостойную выходку Панютина: "Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: "Все-таки ты, говорит, литератор". Я дался, он и выставил. Читаю: "Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо".

Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо все благородное; идеалов надо, а тут...".

Заканчивается рассказ прямым упоминанием портрета Достоевского: "Снесу в "Гражданин", там одного редактора портрет тоже выставили".

[45] Воспроизводится по изданию: Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 15 томах. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1989. Т. 4.

непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорелся любопытством. "Прекрасная идея, -- сказал он вседовольно, -- осмотрим крокодила! Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами", -- и с сими словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в Пассаж. Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом -- в виде домашнего друга. Никогда еще я не видел Ивана Матвеича в более приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро, -- подлинно, что мы не знаем заранее судьбы своей! Войдя в Пассаж, он немедленно стал восхищаться великолепием здания, а подойдя к магазину, в котором показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня четвертак крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней кроме крокодила заключаются еще попугаи из иностранной породы какаду и, сверх того, группа обезьян в особом шкафу в углублений. У самого же входа, у левой стены стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны, на крытый крепкою железною сеткой, а на дне его было на вершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший, как бревно, совершен но без движения и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. Сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любопытства.

-- Так это-то крокодил! -- сказала Елена Ивановна голосом сожаления и нараспев, -- а я думала, что он.. какой-нибудь другой!

Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый. Вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила с чрезвычайно гордым видом смотрел на нас.

-- Он прав, -- шепнул мне Иван Матвеич, -- ибо со знает, что он один во всей России показывает теперь крокодила.

Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерно благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвеичем, в других случаях весьма завистливым.

-- Мне кажется, ваш крокодил не живой, -- проговорила опять Елена Ивановна, пикированная неподатливостью хозяина, и с грациозной улыбкой обращаясь к нему, чтоб преклонить сего грубияна, -- маневр, столь свойственный женщинам.

-- О нет, мадам, -- отвечал тот ломаным русским языком и тотчас же, приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодила в голову.

Тогда коварное чудовище, чтоб показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, приподняло рыло и испустило нечто подобное продолжительному сопенью

-- Ну, не сердись, Карльхен! -- ласкательно сказал немец, удовлетворенный в своем самолюбии.

-- Какой противный этот крокодил! Я даже испугалась, еще кокетливее пролепетала Елена Ивановна, -- теперь он мне будет сниться во сне.

-- Но он вас не укусит во сне, мадам, -- галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумию слов своих, но никто из нас не отвечал ему.

-- Пойдемте, Семен Семеныч, -- продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне, -- посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян; из них такие душки... а крокодил ужасен.

-- О, не бойся, друг мой, -- прокричал нам вслед Иван Матвеич, приятно храбрясь перед своею супругою. -- Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает, -- и остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами.

Таким образом, всё шло прекрасно и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлеклась обезьянами и, казалось, вся отдалась им. Она вскрикивала от удовольствия, беспрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимания обращать на хозяина, и хохотала от замечаемого ею сходства сих мартышек с ее короткими знакомыми и друзьями. Развеселился и я, ибо сходство было несомненное. Немец-собственник не знал, смеяться ему или нет, и потому под конец совсем нахмурился. И вот в это-то самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте; но, замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро оборотился и -- что же увидел я! Я увидел, -- о боже! -- я увидел несчастного Ивана Матвеича в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами. Затем миг -- и его не стало. Но опишу в подробности, потому что я всё время стоял неподвижно и успел разглядеть весь происходивший передо мной процесс с таким вниманием и любопытством, какого даже и не запомню. "Ибо, -- думал я в ту роковую минуту, -- что, если б вместо Ивана Матвеича случилось всё это со мной, -- какова была бы тогда мне неприятность!" Но к делу. Крокодил начал с того, что, повернув бедного Ивана Матвеича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги; потом, отрыгнув немного Ивана Матвеича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы. Потом, отрыгнув еще, глотнул еще и еще раз. Таким образом Иван Матвеич видимо исчезал в глазах наших. Наконец, глотнув окончательно, крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга и на этот раз уже без остатка. На поверхности крокодила можно было заметить, как проходил по его внутренности Иван Матвеич со всеми своими формами. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг судьба еще раз захотела вероломно подшутить над нами: крокодил понатужился, вероятно давясь от огромности проглоченного им предмета, снова раскрыл всю ужасную пасть свою, и из нее, в виде последней отрыжки, вдруг на одну секунду выскочила голова Ивана Матвеича, с отчаянным выражением в лице, причем очки его мгновенно свалились с его носу на дно ящика. Казалось, эта отчаянная голова для того только и выскочила, чтоб еще раз бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Но она не успела в своем намерении: крокодил вновь собрался с силами, глотнул -- и вмиг она снова исчезла, в этот раз уже навеки. Это появление и исчезновение еще живой человеческой головы было так ужасно, но вместе с тем -- от быстроты ли и неожиданности действия или вследствие падения с носу очков -- заключало в себе что-то до того смешное, что я вдруг и совсем неожиданно фыркнул; но, спохватившись, что смеяться в такую минуту мне в качестве домашнего друга неприлично, обратился тотчас же к Елене Ивановне и с симпатическим видом сказал ей:

-- Теперь капут нашему Ивану Матвеичу!

Не могу даже и подумать выразить, до какой степени было сильно волнение Елены Ивановны в продолжение всего процесса. Сначала, после первого крика, она как бы замерла на месте и смотрела на представлявшуюся ей кутерьму, по-видимому, равнодушно, но с чрезвычайно выкатившимися глазами; потом вдруг залилась раздирающим воплем, но я схватил ее за руки. В

это мгновение и хозяин, сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал, глядя на небо:

-- О мой крокодиль, о мейн аллерлибстер Карльхен! Муттер, муттер, муттер!

На этот крик отворилась задняя дверь и показалась муттер, в чепце, румяная, пожилая, но растрепанная, и с визгом бросилась к своему немцу.

Тут-то начался содом: Елена Ивановна выкрикивала, как исступленная, одно только слово: "Вспороть! вспороть!" -- и бросалась к хозяину и к муттер, по-видимому, упрашивая их -- вероятно, в самозабвении -- кого-то и за что-то вспороть. Хозяин же и муттер ни на кого из нас не обращали внимания: они оба выли, как телята, около ящика.

-- Он пропадиль, он сейчас будет лопаль, потому что он проглатиль ганц чиновник! -- кричал хозяин.

-- Унзер Карльхен, унзер аллерлибстер Карльхен вирд штербен! -- выла хозяйка.

-- Мы сиротт и без клеб! -- подхватывал хозяин.

-- Вспороть, вспороть, вспороть! -- заливалась Елена Ивановна, вцепившись в сюртук немца.

-- Он дразниль крокодиль, -- зачем ваш муж дразниль крокодиль! -- кричал, отбиваясь, немец, -- вы заплатит, если Карльхен вирд лопаль, -- дас вар мейн зон, дас вар мейн айнцигер зон!

Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм заезжего немца и сухость сердца в его растрепанной муттер; тем не менее беспрерывно повторяемые крики Елены Ивановны: "Вспороть, вспороть!" -- еще более возбуждали мое беспокойство и увлекли наконец всё мое внимание, так что я даже испугался... Скажу заранее -- странные сии восклицания были поняты мною совершенно превратно: мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок, но тем не менее, желая отметить за погибель любезного ей Ивана Матвеича, предлагала, в виде следуемого ей удовлетворения, наказать крокодила розгами. А между тем она разумела совсем другое. Не без смущения озираясь на дверь, начал я упрашивать Елену Ивановну успокоиться и, главное, не употреблять щекотливого слова "вспороть". Ибо такое ретроградное желание здесь, в самом сердце Пассажа и образованного общества, в двух шагах от той самой залы, где, может быть, в эту самую минуту господин Лавров читал публичную лекцию, -- не только было невозможно, но даже немыслимо и с минуты на минуту могло привлечь на нас свистки образованности и карикатуры г-на Степанова. К ужасу моему, я немедленно оказался прав в пугливых подозрениях моих: вдруг раздвинулась занавесь, отделявшая крокодильную от входной каморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках, весьма сильно нагибавшаяся верхнею частью тела вперед и весьма предусмотрительно старавшаяся держать свои ноги за порогом крокодильной, чтоб сохранить за собой право не заплатить за вход.

-- Такое ретроградное желание, сударыня, -- сказал незнакомец, стараясь не перевалиться как-нибудь к нам и устоять за порогом, -- не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших...

Но он не докончил: опомнившийся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильной и ничего за это не заплатившего, с яростию бросился на прогрессивного

незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших за занавесью, и тут только я наконец догадался, что вся кутерьма вышла из ничего; Елена Ивановна оказалась совершенно невинною: она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтоб ему только вспороли ножом брюхо и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвеича.

-- Как! ви хатит, чтоб мой крокодиль пропадиль! -- завопил вбежавший опять хозяин, -- нетт, пускай ваш муж сперва пропадиль, а потом крокодиль!.. Мейн фатер показаль крокодиль, мейн гросфатер показаль крокодиль, мейн зон будет показать крокодиль, и я будет показать крокодиль! Все будут показать крокодиль! Я ганц Европа известен, а ви неизвестен ганц Европа и мне платит штраф.

-- Я, я! -- подхватила злобная немка, -- ми вас не пускайт, штраф, когда Карльхен лопаль!

-- Да и бесполезно вспарывать, -- спокойно прибавил я, желая отвлечь Елену Ивановну поскорее домой, -- ибо наш милый Иван Матвеич, по всей вероятности, парит, теперь где-нибудь в эмпиреях.

-- Друг мой, -- раздался в эту минуту совершенно, неожиданно голос Ивана Матвеича, изумивший нас до крайности, -- друг мой, мое мнение -- действовать прямо через контору надзирателя, ибо немец без помощи полиции не поймет истины.

Эти слова, высказанные твердо, с весом и выражавшие присутствие духа необыкновенное, сначала до того изумили нас, что мы все отказались было верить ушам нашим.

Но, разумеется, тотчас же подбежали к крокодильному ящику и столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью слушали несчастного узника. Голос его был заглушенный, тоненький и даже крикливый, как будто выходивший из значительного от нас отдаления. Похоже было на то, когда какой-либо шутник, уходя в другую комнату и закрыв рот обыкновенной спальной подушкой, начинает кричать, желая представить оставшейся в другой комнате публике, как перекликаются два мужика в пустыне или будучи разделены между собою глубоким оврагом, -- что я имел удовольствие слышать однажды у моих знакомых на святках.

-- Иван Матвеич, друг мой, итак, ты жив! -- лепетала Елена Ивановна.

-- Жив и здоров, -- отвечал Иван Матвеич, -- и благодаря всевышнего проглочен без всякого повреждения. Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство; ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и неостроумно...

-- Но, друг мой, не заботься об остроумии; прежде всего надобно тебя отсюда как-нибудь выковырять, -- прервала Елена Ивановна.

-- Ковыряйт! -- вскричал хозяин, -- я не дам ковыряйт крокодиль. Теперь публикум будет ошень больше ходиль, а я буду фуфциг копеек просиль, и Карльхен перестанет лопаль.

-- Гот зей данк! -- подхватила хозяйка.

-- Они правы, -- спокойно заметил Иван Матвеич, -- экономический принцип прежде всего.

-- Друг мой, -- закричал я, -- сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить.

-- И я то же думаю, -- заметил Иван Матвеич, -- но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром вспороть брюхо крокодилово, а между тем представляется неизбежный вопрос: что возьмет хозяин за своего крокодила? а с ним и другой: кто заплатит? ибо ты знаешь, я средств не имею...

-- Разве в счет жалованья, -- робко заметил я, но хозяин тотчас же меня прервал:

-- Я не продавайт крокодиль, я три тысячи продавайт крокодиль, я четыре тысячи продавайт крокодиль! Теперь публикум будет много ходиль. Я пять тысяч продавайт крокодиль!

Одним словом, он куражился нестерпимо; корыстолюбие и гнусная алчность радостно сияли в глазах его.

-- Еду! -- закричал я в негодовании.

-- И я! и я тоже! я поеду к самому Андрею Осипычу, я смягчу его моими слезами, -- заныла Елена Ивановна.

-- Не делай этого, друг мой, -- поспешно прервал ее Иван Матвеич, ибо давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осипычу и знал, что она рада съездить поплакать перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли. -- Да и тебе, мой друг, не советую, -- продолжал он, обращаясь ко мне, -- нечего ехать прямо с бухты-барахты; еще что из этого выйдет. А заезжай-ка ты лучше сегодня, так, в виде частного посещения, к Тимофею Семенычу. Человек он старомодный и недалекий, но солидный и, главное, -- прямой. Поклонись ему от меня и опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний ералаш семь рублей, то передай их ему при этом удобном случае: это смягчит сурового старика. Во всяком случае, его совет может послужить для нас руководством. А теперь уведи пока Елену Ивановну... Успокойся, друг мой, -- продолжал он ей, -- я устал от всех этих криков и бабьих дрязг и желаю немного соснуть. Здесь же тепло и мягко, хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном для меня убежище...

-- Осмотреться! Разве тебе там светло? -- вскрикнула обрадованная Елена Ивановна.

-- Меня окружает непробудная ночь, -- отвечал бедный узник, -- но я могу щупать и, так сказать, осматриваться руками... Прощай же, будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях. До завтра! Ты же, Семен Семеныч, побывай ко мне вечером, и так как ты рассеян и можешь забыть, то завяжи узелок...

Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да отчасти и наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел ее из крокодильной.

-- Вечером за вход опять четвертак! -- крикнул нам вслед хозяин.

-- О боже, как они жадны! -- проговорила Елена Ивановна, глядясь в каждое зеркало в простенках Пассажа и, видимо, сознавая, что она похорошела.

-- Экономический принцип, -- отвечал я с легким волнением и гордясь моею дамою перед прохожими.

-- Экономический принцип... -- протянула она симпатическим голоском, -- я ничего не поняла, что говорил сейчас Иван Матвеич об этом противном экономическом принципе.

-- Я объясню вам, -- отвечал я и немедленно начал рассказывать о благодетельных результатах привлечения иностранных капиталов в наше отечество, о чем прочел еще утром в "Петербургских известиях" и в "Волосе".

-- Как это всё странно! -- прервала она, прослушав некоторое время, -- да перестаньте же, противный; какой вы вздор говорите... Скажите, я очень красна?

-- Вы прекрасны, а не красны! -- заметил я, пользуясь случаем сказать комплимент.

-- Шалун! -- пролепетала она самодовольно. -- Бедный Иван Матвеич, -- прибавила она через минуту, кокетливо склонив на плечо головку, -- мне, право, его жаль, ах боже мой! -- вдруг вскрикнула она, -- скажите, как же он будет сегодня там кушать и... и... как же он будет... если ему чего-нибудь будет надобно?

-- Вопрос непредвиденный, -- отвечал я, тоже озадаченный. Мне, по правде, это не приходило и в голову, до того женщины практичнее нас, мужчин, при решении житейских задач!

-- Бедняжка, как это он так втюрился... и никаких развлечений и темно... как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки... Итак, я теперь вроде вдовы, -- прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно интересуясь новым своим положением, -- гм... все-таки мне его жаль!..

Одним словом, выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой и интересной жены о погибшем муже. Я привел ее наконец домой, успокоил и, пообедав вместе с нею, после чашки ароматного кофе, отправился в шесть часов к Тимофею Семенычу, рассчитывая, что в этот час все семейные люди определенных занятий сидят или лежат по домам.

Написав сию первую главу слогом, приличным рассказанному событию, я намерен далее употреблять слог хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чем и извещаю заранее читателя.

II

Почтенный Тимофей Семеныч встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь: "Чтобы дети не мешали", -- проговорил он с видимым беспокойством. Затем посадил меня на стул у письменного стола, сам сел в кресла, запахнул полы своего старого ватного халата и принял на всякий случай какой-то официальный, даже почти строгий вид, хотя вовсе не был моим или Ивана Матвеича начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым.

-- Прежде всего, -- начал он, -- возьмите во внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек, как и вы, как и Иван Матвеич... Я сторона-с и ввязываться ни во что не намерен.

Я удивился, что, по-видимому, он уже всё это знает. Несмотря на то, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением, ибо исполнял в эту минуту обязанность истинного друга. Он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности.

-- Представьте, -- сказал он, выслушав, -- я всегда полагал, что с ним непременно это случится.

-- Почему же-с, Тимофей Семеныч, случай сам по себе весьма необыкновенный-с...

-- Согласен. Но Иван Матвеич во всё течение службы своей именно клонил к такому результату. Прыток-с, заносчив даже. Всё "прогресс" да разные идеи-с, а вот куда прогресс-то приводит!

-- Но ведь это случай самый необыкновенный, и общим правилом для всех прогрессистов его никак нельзя положить...

-- Нет, уж это так-с. Это, видите ли, от излишней образованности происходит, поверьте мне-с. Ибо люди излишне образованные лезут во всякое место-с и преимущественно туда, где их вовсе не спрашивают. Впрочем, может, вы больше знаете, -- прибавил он, как бы обижаясь. -- Я человек не столь образованный и старый; с солдатских детей начал, и службе моей пятидесятилетний юбилей сего года пошел-с.

-- О нет, Тимофей Семеныч, помилуйте. Напротив, Иван Матвеич жаждет вашего совета, руководства вашего жаждет. Даже, так сказать, со слезами-с.

-- "Так сказать со слезами-с". Гм. Ну, это слезы крокодиловы, и им не совсем можно верить. Ну, зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет?

-- На скопленное, Тимофей Семеныч, из последних наградных, -- отвечал я жалобно. -- Всего на три месяца хотел съездить, -- в Швейцарию... на родину Вильгельма Телля.

-- Вильгельма Телля? Гм!

-- В Неаполе встретить весну хотел-с. Осмотреть музей, нравы, животных...

-- Гм! животных? А по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды. Медведи под самым Петербургом живут. Да вот он и сам засел в крокодиле...

-- Тимофей Семеныч, помилуйте, человек в несчастье, человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику, совета жаждет, а вы -- укоряете... Пожалейте хоть несчастную Елену Ивановну!

-- Это вы про супругу-с? Интересная дамочка, -- проговорил Тимофей Семеныч, видимо смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку. -- Особа субтильная. И как полна, и головку всё так на бочок, на бочок... очень приятно-с. Андрей Осипыч еще третьего дня упоминал.

-- Упоминал?

-- Упоминал-с, и в выражениях весьма лестных. Бюст, говорит, взгляд, прическа... Конфетка, говорит, а не дамочка, и тут же засмеялись. Молодые они еще люди. -- Тимофей Семеныч с треском высморкался. -- А между тем вот и молодой человек, а какую карьеру себе составляют-с...

-- Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семеныч.

-- Конечно, конечно-с.

-- Так как же, Тимофей Семеныч?

-- Да что же я-то могу сделать?

-- Посоветуйте-с, руководите, как опытный человек, как родственник! Что предпринять? Идти ли по начальству или...

-- По начальству? Отнюдь нет-с, -- торопливо произнес Тимофей Семеныч. -- Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать, в виде частного лица. Случай подозрительный-с, да и небывалый. Главное, небывалый, примера не было-с, да и плохо рекомендующий... Поэтому осторожность прежде всего... Пусть уж там себе полежит. Надо выждать, выждать...

-- Да как же выждать, Тимофей Семеныч? Ну что, если он там задохнется?

-- Да почему же-с? Ведь вы, кажется, говорили, что он Даже с довольным комфортом устроился?

Я рассказал всё опять. Тимофей Семеныч задумался.

-- Гм! -- проговорил он, вертя табакерку в руках, -- по-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит, вместо заграницы-то-с. Пусть на досуге подумает; разумеется, задыхаться не надо, и потому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья: ну, там, остерегаться кашля и прочего... А что касается немца, то, по моему личному мнению, он в своем праве, и даже более другой стороны, потому что в его крокодила влезли без спросу, а не он влез без спросу в крокодила Ивана Матвеичева, у которого, впрочем, сколько я запомню, и не было своего крокодила. Ну-с, а крокодил составляет собственность, стало быть, без вознаграждения его взрезать нельзя-с.

-- Для спасения человечества, Тимофей Семеныч.

-- Ну уж это дело полиции-с. Туда и следует отнестись.

-- Да ведь Иван Матвеич может и у нас понадобиться. Его могут потребовать-с.

-- Иван-то Матвеич понадобиться? хе-хе! К тому же ведь он считается в отпуску, стало быть, мы можем и игнорировать, а он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после сроку не явится, ну тогда и спросим, справки наведем...

-- Три-то месяца! Тимофей Семеныч, помилуйте!

-- Сам виноват-с. Ну, кто его туда совал? Эдак, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять-с, а этого и по штату не полагается. А главное -- крокодил есть собственность, стало быть, тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего-с. Еще третьего дня у Луки Андреича на вечере Игнатий Прокофьич говорил, Игнатия Прокофьича знаете? Капиталист, при делах-с, и знаете складно так говорит: "Нам нужна, говорит, промышленность, промышленности у нас мало. Надо ее родить. Надо капиталы родить, значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. Общинная собственность -- яд, говорит, гибель! -- И, знаете, с жаром так говорит; ну, им прилично: люди капитальные... да и не служащие.

-- С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся. Надо, говорит, чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно в мелкие участки, и знаете -- решительно так произносит: дрррробить, говорит, а потом и продавать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать. Когда, говорит, вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему! Знает, что с голоду не помрет, ну и ленится, и пьянствует. А меж тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вон и английская политическая и литературная газета "Тайме", разбирая наши финансы, отзывалась намедни, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, кошелей больших нет, пролетариев услужливых нет..." Хорошо говорит Игнатий Прокофьич. Оратор-с. Сам по начальству отзыв хочет подать и потом в "Известиях" напечатать. Это уж не стишки, подобно Ивану Матвеичу...

-- Так как же Иван-то Матвеич? -- ввернул я, дав поболтать старику. Тимофей Семеныч любил иногда поболтать и тем показать, что и он не отстал и всё это знает.

-- Иван-то Матвеич как-с? Так ведь я к тому и клоню-с. Сами же мы вот хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество, а вот посудите: едва только капитал привлеченного крокодильщика удвоился через Ивана Матвеича, а мы, чем бы протежировать иностранного собственника, напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеич, как истинный сын отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что собою ценность иностранного крокодила удвоил, а пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения надобно-с. Удастся одному, смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж двух и трех зараз привезет, а около них капиталы группируются. Вот и буржуазия. Надобно поощрять-с.

-- Помилуйте, Тимофей Семеныч! -- вскричал я, -- да вы требуете почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвеича!

-- Ничего я не требую-с и прежде всего прошу вас -- как уже и прежде просил -- сообразить, что я не начальство и, стало быть, требовать ни от кого и ничего не могу. Как сын отечества говорю, то есть говорю не как "Сын отечества", а просто как сын отечества говорю. Опять-таки кто ж велел ему влезть в крокодила? Человек солидный, человек известного чина, состоящий в законном браке, и вдруг -- такой шаг! Сообразно ли это?

-- Но ведь этот шаг случился нечаянно-с.

-- А кто его знает? И притом из каких сумм заплатить крокодильщику, скажите-ка?

-- Разве в счет жалованья, Тимофей Семеныч?

-- Достанет ли-с?

-- Недостанет, Тимофей Семеныч, -- отвечал я с грустию. -- Крокодильщик сначала испугался, что лопнет крокодил, а потом, как убедился, что всё благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить.

-- Утроить, учетверить разве! Публика теперь прихлынет, а крокодильщики ловкий народ. К тому же и мясоед, склонность к увеселениям и потому, повторяю, прежде всего пусть Иван Матвеич наблюдает инкогнито, пусть не торопится. Пусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально. В этом отношении Иван Матвеич находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут, что в крокодиле, а мы и не поверим. Это можно так подвести. Главное -- пусть выжидает, да и куда ему спешить?

-- Ну, а если...

-- Не беспокойтесь, сложения плотного-с...

-- Ну, а потом, когда выйдет?

-- Ну-с, не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя-с, и, главное, то вредит, что не было до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, еще можно бы как-нибудь руководствоваться. А то как тут решишь? Станешь соображать, а дело затянется.

Счастливая мысль блеснула у меня в голове.

-- Нельзя ли устроить так-с, -- сказал я, -- что уж если суждено ему оставаться в недрах чудовища и, волею провидения, сохранится его живот, нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе?

-- Гм... разве в виде отпуска и без жалованья...

-- Нет-с, нельзя ли с жалованьем-с?

-- На каком же основании? -- В виде командировки...

-- Какой и куда?

-- Да в недра же, крокодиловы недра... Так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость о просвещении-с...

Тимофей Семеныч задумался.

-- Командировать особого чиновника, -- сказал он наконец, -- в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, -- нелепо-с. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения?

-- Да для естественного, так сказать, изучения природы на месте, в живье-с. Нынче всё пошли естественные науки-с, ботаника... Он бы там жил и сообщал-с... ну, там о пищеварении или просто о нравах. Для скопления фактов-с.

-- То есть это по части статистики. Ну, в этом я не силен, да и не философ. Вы говорите: факты, -- мы и без того завалены фактами и не знаем, что с ними делать. Притом же эта статистика опасна...

-- Чем же-с?

-- Опасна-с. И к тому ж, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лежа на боку. А разве можно служить, лежа на боку? Это уж опять нововведение, и притом опасное-с; и опять-таки

примера такого не было. Вот если б нам хоть какой-нибудь примерчик, так, по моему мнению, пожалуй, и можно бы командировать.

-- Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор, Тимофей Семеныч.

-- Гм, да... -- он опять задумался. -- Если хотите, это возражение ваше справедливо и даже могло бы служить основанием к дальнейшему производству дела. Но опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие и потом, на основании того, что там тепло и мягко, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку... согласитесь сами -- дурной пример-с. Ведь эдак, пожалуй, всякий туда полезет даром деньги-то брать.

-- Порадейте, Тимофей Семеныч! Кстати-с: Иван Матвеич просил передать вам карточный должок, семь рублей, в ералаш-с...

-- Ах, это он проиграл намедни, у Никифор Никифорыча! Помню-с. И как он тогда был весел, смешил, и вот!..

Старик был искренно тронут.

-- Порадейте, Тимофей Семеныч.

-- Похлопочу-с. От своего лица поговорю, частным образом, в виде справки. А впрочем, разузнайте-ка так, неофициально, со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила?

Тимофей Семеныч видимо подобрел.

-- Непременно-с, -- отвечал я, -- и тотчас же явлюсь к вам с отчетом.

-- Супруга-то... одна теперь? Скучает?

-- Вы бы навестили, Тимофей Семеныч.

-- Навещу-с, я еще давеча подумал, да и случай удобный... И зачем, зачем это его дергало смотреть крокодила! А впрочем, я бы и сам желал посмотреть.

-- Навестите-ка бедного, Тимофей Семеныч.

-- Навещу-с. Конечно, я этим шагом моим не хочу обнадеживать. Я прибуду как частное лицо... Ну-с, до свиданья, я ведь опять к Никифор Никифорычу; будете?

-- Нет-с, я к узнику.

-- Да-с, вот теперь и к узнику!.. Э-эх, легкомыслие!

Я распростился с стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семеныч, а, выходя от него, я, однако, порадовался, что ему был уже пятидесятилетний юбилей и что Тимофеи Семенычи у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в Пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеичу. Да и любопытство разбирало меня: как он там устроился в крокодиле и как это можно жить в крокодиле? Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне, право, казалось, что всё это какой-то чудовищный сон, тем более что и дело-то шло о чудовище...

III

И, однако ж, это был не сон, а настоящая, несомненная действительность. Иначе -- стал ли бы я и рассказывать! Но продолжаю...

В Пассаж я попал уже поздно, около девяти часов, и в крокодильную принужден был войти с заднего хода, потому что немец запер магазин на этот раз ранее обыкновенного. Он расхаживал по-домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам еще втрое довольнее, чем давеча утром. Видно было, что он уже ничего не боится и что "публикум много ходиль". Муттер вышла уже потом, очевидно затем, чтобы следить за мной. Немец с муттер часто перешептывались. Несмотря на то, что магазин был уже заперт, он все-таки взял с меня четвертак. И что за ненужная аккуратность!

-- Ви каждый раз будет платиль; публикум будут рубль платиль, а ви один четвертак, ибо ви добры друк вашего добры друк, а я почитаю друк...

-- Жив ли, жив ли образованный друг мой! -- громко вскричал я, подходя к крокодилу и надеясь, что слова мои еще издали достигнут Ивана Матвеича и польстят его самолюбию.

-- Жив и здоров, -- отвечал он, как будто издали или как бы из-под кровати, хотя я стоял подле него, -- жив и здоров, но об этом после... Как дела?

Как бы нарочно не расслышав вопроса, я было начал с участием и поспешностию сам его расспрашивать: как он, что он и каково в крокодиле и что такое вообще внутри крокодила? Это требовалось и дружеством и обыкновенною вежливостию. Но он капризно и с досадой перебил меня.

-- Как дела? -- прокричал он, по обыкновению мною командуя, своим визгливым голосом, чрезвычайно на этот раз отвратительным.

Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семенычем до последней подробности. Рассказывая, я старался выказать несколько обиженный тон.

-- Старик прав, -- решил Иван Матвеич так же резко, как и по всегдашнему обыкновению своему в разговорах со мной. -- Практических людей люблю и не терплю сладких мямлей. Готов, однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки не совершенно нелепа. Действительно, многое могу сообщить и в научном, и в нравственном отношении. Но теперь это всё принимает новый и неожиданный вид и не стоит хлопотать из одного только жалованья. Слушай внимательно. Ты сидишь?

-- Нет, стою.

-- Садись на что-нибудь, ну хоть на пол, и слушай внимательно.

Со злобою взял я стул и в сердцах, устанавливая, стукнул им об пол.

-- Слушай, -- начал он повелительно, -- публики сегодня приходило целая бездна. К вечеру не хватило места, и для порядка явилась полиция. В восемь часов, то есть ранее обыкновенного,

хозяин нашел даже нужным запереть магазин и прекратить представление, чтоб сосчитать привлеченные деньги и удобнее приготовиться к завтраму. Знаю, что завтра соберется целая ярмарка. Таким образом, надо полагать, что все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь перебывают. Мало того: станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате -- я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбою! Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественнонаучные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, -- драгоценны, И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.

-- Не наскучило бы? -- заметил я ядовито.

Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения -- до того заважничал. Тем не менее всё это меня сбило с толку. "С чего, с чего эта легкомысленная башка куражится! -- скрежетал я шепотом про себя. -- Тут надо плакать, а не куражиться".

-- Нет! -- отвечал он резко на мое замечание, -- ибо весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею -- чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну всё и буду новый Фурье. Кстати, отдал семь рублей Тимофею Семенычу?

-- Из своих, -- ответил я, стараясь выразить голосом, что заплатил из своих.

-- Сочтемся, -- ответил он высокомерно. -- Прибавки оклада жду всенепременно, ибо кому же и прибавлять, как не мне? Польза от меня теперь бесконечная. Но к делу. Жена?

-- Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне?

-- Жена?! -- закричал он даже с каким-то на этот раз визгом.

Нечего было делать! Смиренно, но опять-таки скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну. Он даже и не дослушал.

-- Имею на нее особые виды, -- начал он нетерпеливо, -- Если буду знаменит здесь, то хочу, чтоб она была знаменита там. Ученые, поэты, философы, заезжие минералоги, государственные мужи после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам ее салон. С будущей недели у нее должны начаться каждый вечер салоны. Удвоенный оклад будет давать средства к приему, а так как прием должен ограничиваться одним чаем и нанятыми лакеями, то и делу конец. И здесь и там будут говорить обо мне. Давно жаждал случая, чтоб все говорили обо мне, но не мог достигнуть, скованный малым значением и недостаточным чином. Теперь же всё это достигнуто каким-нибудь самым обыкновенным глотком крокодила. Каждое слово мое будет выслушиваться, каждое изречение обдумываться, передаваться, печататься. И я задам себя знать! Поймут наконец, каким способностям дали исчезнуть в недрах чудовища. "Этот человек мог быть иностранным министром и управлять королевством", -- скажут одни. "И этот человек не управлял иностранным королевством", -- скажут другие. Ну чем, ну чем я хуже какого-нибудь Гарнье-Пажесишки или как их там?.. Жена должна составлять мне пандан -- у меня ум, у нее красота и

любезность. "Она прекрасна, потому и жена его", -- скажут одни. "Она прекрасна, потому что жена его", -- поправят другие. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского, чтоб уметь говорить обо всех предметах. Чаще же всего пусть читает premier-политик "С. --Петербургских известий", сверяя каждодневно с "Волосом". Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня, вместе с крокодилом, в блестящий салон жены моей. Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты; с поэтом буду говорить в рифму; с дамами буду забавен и нравственно-мил, -- так как вполне безопасен для их супругов. Всем остальным буду служить примером покорности судьбе и воле провидения. Жену сделаю блестящею литературною дамою; я ее выдвину вперед и объясню ее публике; как жена моя, она должна быть полна величайших достоинств, и если справедливо называют Андрея Александровича нашим русским Альфредом де Мюссе, то еще справедливее будет, когда назовут ее нашей русской Евгенией Тур.

Признаюсь, хотя вся эта дичь и походила несколько на всегдашнего Ивана Матвеича, но мне все-таки пришло в голову, что он теперь в горячке и бредит. Это был всё тот же обыкновенный и ежедневный Иван Матвеич, но наблюдаемый в стекло, в двадцать раз увеличивающее.

-- Друг мой, -- спросил я его, -- надеешься ли ты на долговечность? И вообще скажи: здоров ли ты? Как ты ешь, как ты спишь, как ты дышишь? Я друг тебе, и согласись, что случай слишком сверхъестественный, а следовательно, любопытство мое слишком естественно.

-- Праздное любопытство и больше ничего, -- отвечал он сентенциозно, -- но ты будешь удовлетворен. Спрашиваешь, как устроился я в недрах чудовища? Во-первых, крокодил, к удивлению моему, оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как бы из огромного пустого мешка, сделанного из резинки, вроде тех резиновых изделий, которые распространены у нас в Гороховой, в Морской и, если не ошибаюсь, на Вознесенском проспекте. Иначе, сообрази, мог ли бы я в нем поместиться?

-- Возможно ли? -- вскричал я в понятном изумлении. -- Неужели крокодил совершенно пустой?

-- Совершенно, -- строго и внушительно подтвердил Иван Матвеич. -- И, по всей вероятности, он устроен так по законам самой природы. Крокодил обладает только пастью, снабженною острыми зубами, и вдобавок к пасти -- значительно длинным хвостом -- вот и всё, по-настоящему. В середине же между сими двумя его оконечностями находится пустое пространство, обнесенное чем-то вроде каучука, вероятнее же всего действительно каучуком.

-- А ребра, а желудок, а кишки, а печень, а сердце? -- прервал я даже со злобою.

-- Н-ничего, совершенно ничего этого нет и, вероятно, никогда не бывало. Всё это -- праздная фантазия легкомысленных путешественников. Подобно тому как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты, в качестве домашнего друга, мог бы поместиться со мной рядом, если б обладал великодушием, -- и даже с тобой еще достало бы места. Я даже думаю в крайнем случае выписать сюда Елену Ивановну. Впрочем, подобное пустопорожнее устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками. Ибо, положим например, тебе дано устроить нового крокодила -- тебе, естественно, представляется вопрос: какое основное свойство крокодилово? Ответ ясен: глотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтоб он глотал людей? Ответ еще яснее: устроив его пустым. Давно уже решено физикой, что природа не терпит пустоты. Подобно сему и

внутренность крокодилова должна именно быть пустою, чтоб не терпеть пустоты, а, следственно, беспрерывно глотать и наполняться всем, что только есть под рукою. И вот единственная разумная причина, почему все крокодилы глотают нашего брата. Не так в устройстве человеческом: чем пустее, например, голова человеческая, тем менее она ощущает жажды наполниться, и это единственное исключение из общего правила. Всё это мне теперь ясно, как день, всё это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению пульса ее. Даже этимология согласна со мною, ибо самое название крокодил означает прожорливость. Крокодил, Crocodillo, -- есть слово, очевидно, итальянское, современное, может быть, древним фараонам египетским и, очевидно, происходящее от французского корня: croquer, что означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу. Всё это я намерен прочесть в виде первой лекции публике, собравшейся в салоне Елены Ивановны, когда меня принесут туда в ящике.

-- Друг мой, не принять ли тебе теперь хоть слабительного! -- вскричал я невольно. "У него жар, жар, он в жару!" -- повторял я про себя в ужасе.

-- Вздор! -- отвечал он презрительно, -- и к тому же в теперешнем положении моем это совсем неудобно. Впрочем, я отчасти знал, что ты заговоришь о слабительном.

-- Друг мой, а как... как же ты теперь употребляешь пищу? Обедал ты сегодня или нет?

-- Нет, но сыт и, вероятнее всего, теперь уже никогда не буду употреблять пищи. И это тоже совершенно понятно: наполняя собою всю внутренность крокодилову, я делаю его навсегда сытым. Теперь его можно не кормить несколько лет. С другой стороны, -- сытый мною, он естественно сообщит и мне все жизненные соки из своего тела; это вроде того, как некоторые утонченные кокетки обкладывают себя и все свои формы на ночь сырыми котлетами и потом, приняв утреннюю ванну, становятся свежими, упругими, сочными и обольстительными. Таким образом, питая собою крокодила, я, обратно, получаю и от него питание; следовательно -- мы взаимно кормим друг друга. Но так как трудно, даже и крокодилу, переваривать такого человека, как я, то уж, разумеется, он должен при этом ощущать некоторую тяжесть в желудке, -- которого, впрочем, у него нет, -- и вот почему, чтоб не доставить излишней боли чудовищу, я редко ворочаюсь с боку на бок; и хотя бы и мог ворочаться, но не делаю сего из гуманности. Это единственный недостаток теперешнего моего положения, и в аллегорическом смысле Тимофей Семеныч справедлив, называя меня лежебокой. Но я докажу, что и лежа на боку, -- мало того, -- что только лежа на боку и можно перевернуть судьбу человечества. Все великие идеи и направления наших газет и журналов, очевидно, произведены лежебоками; вот почему и называют их идеями кабинетными, но наплевать, что так называют! Я изобрету теперь целую социальную систему, и -- ты не поверишь -- как это легко! Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Давеча, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы, теперь изготовляю четвертую. Правда, сначала надо всё опровергнуть; но из крокодила так легко опровергать; мало того, из крокодила как будто всё это виднее становится... Впрочем, в моем положении существуют и еще недостатки, хотя и мелкие: внутри крокодила несколько сыро и как будто покрыто слизью да, сверх того, еще несколько пахнет резинкой, точь-в-точь как от моих прошлогодних калош. Вот и всё, более нет никаких недостатков.

-- Иван Матвеич, -- прервал я, -- всё это чудеса, которым я едва могу верить. И неужели, неужели ты всю жизнь не намерен обедать?

-- О каком вздоре заботишься ты, беспечная, праздная голова! Я тебе о великих идеях рассказываю, а ты... Знай же, что я сыт уже одними великими идеями, озарившими ночь, меня окружившую. Впрочем, добродушный хозяин чудовища, сговорившись с добрейшею муттер, решили давеча промеж себя, что будут каждое утро просовывать в пасть крокодила изогнутую металлическую трубочку, вроде дудочки, через которую я бы мог втягивать в себя кофе или бульон с размоченным в нем белым хлебом. Дудочка уже заказана по соседству; но полагаю, что эта излишняя роскошь. Прожить же надеюсь по крайней мере тысячу лет, если справедливо, что по стольку лет живут крокодилы, о чем, благо напомнил, справься завтра же в какой-нибудь естественной истории и сообщи мне, ибо я мог ошибиться, смешав крокодила с каким-нибудь другим ископаемым. Одно только соображение несколько смущает меня: так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги, то крокодил, очевидно, меня не может переварить. Сверх того, я живой и потому сопротивляюсь переварению меня всею моею волею, ибо понятно, что не хочу обратиться в то, во что обращается всякая пища, так как это было бы слишком для меня унизительно. Но боюсь одного: в тысячелетний срок сукно сюртука моего, к несчастью русского изделия, может истлеть, и тогда я, оставшись без одежды, несмотря на всё мое негодование, начну, пожалуй, и перевариваться; и хоть днем я этого ни за что не допущу и не позволю, но по ночам, во сне, когда воля отлетает от человека, меня может постичь самая унизительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятины. Такая идея приводит меня в бешенство. Уже по одной этой причине надо бы изменить тариф и поощрять привоз сукон английских, которые крепче, а следственно, и дольше будут сопротивляться природе, в случае если попадешь в крокодила. При первом случае сообщу мысль мою кому-либо из людей государственных, а вместе с тем и политическим обозревателям наших ежедневных петербургских газет. Пусть прокричат. Надеюсь, что не одно это они теперь от меня позаимствуют. Предвижу, что каждое утро целая толпа их, вооруженная редакционными четвертаками, будет тесниться кругом меня, чтоб уловить мои мысли насчет вчерашних телеграмм. Короче -- будущность представляется мне в самом розовом свете.

"Горячка, горячка!" -- шептал я про себя.

-- Друг мой, а свобода? -- проговорил я, желая вполне узнать его мнение. -- Ведь ты, так сказать, в темнице, тогда как человек должен наслаждаться свободою.

-- Ты глуп, -- отвечал он. -- Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок, а нет порядка...

-- Иван Матвеич, пощади и помилуй!

-- Молчи и слушай! -- взвизгнул он в досаде, что я перебил его. -- Никогда не воспарял я духом так, как теперь. В моем тесном убежище одного боюсь -- литературной критики толстых журналов и свиста сатирических газет наших. Боюсь, чтоб легкомысленные посетители, глупцы и завистники и вообще нигилисты не подняли меня на смех. Но я приму меры. С нетерпением жду завтрашних отзывов публики, а главное -- мнения газет. О газетах сообщи завтра же.

-- Хорошо, завтра же принесу сюда целый ворох газет.

-- Завтра еще рано ждать газетных отзывов, ибо объявления печатаются только на четвертый день. Но отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. Я намерен употреблять тебя как моего секретаря. Ты будешь мне читать газеты и журналы, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. В особенности не забывай телеграмм. Каждый день чтоб были здесь

все европейские телеграммы. Но довольно; вероятно, ты теперь хочешь спать. Ступай домой и не думай о том, что я сейчас говорил о критике: я не боюсь ее, ибо сама она находится в критическом положении. Стоит только быть мудрым и добродетельным, и непременно станешь на пьедестал. Если не Сократ, то Диоген, или то и другое вместе, и вот будущая роль моя в человечестве.

Так легкомысленно и навязчиво (правда, в горячке) торопился высказаться передо мной Иван Матвеич, подобно тем слабохарактерным бабам, про которых говорит пословица, что они не могут удержать секрета. Да и всё то, что сообщил он мне о крокодиле, показалось мне весьма подозрительным. Ну как можно, чтоб крокодил был совершенно пустой? Бьюсь об заклад, что в этом он прихвастнул из тщеславия и отчасти, чтоб меня унизить. Правда, он был больной, а больному надо уважить; но, признаюсь откровенно, я всегда терпеть не мог Ивана Матвеича. Всю жизнь, начиная с самого детства, я желал и не мог избавиться от его опеки. Тысячу раз хотел было я с с ним совсем расплеваться, и каждый раз меня опять тянуло к нему, как будто я всё еще надеялся ему что-то доказать и за что-то отметить. Странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых был с ним дружен из злобы. На этот раз мы простились, однако же, с чувством.

-- Ваш друк ошень умна шеловек, -- сказал мне вполголоса немец, собираясь меня провожать; он всё время прилежно слушал наш разговор.

-- A propos, 1 -- сказал я, -- чтоб не забыть, -- сколько бы взяли вы за вашего крокодила, на случай если б вздумали у вас его покупать?

1 Кстати (франц.).

Иван Матвеич, слышавший вопрос, с любопытством выжидал ответа. Видимо было, что ему не хотелось, чтоб немец взял мало; по крайней мере он как-то особенно крякнул при моем вопросе.

Сначала немец и слушать не хотел, даже рассердился.

-- Никто не смейт покупат мой собственный крокодиль!-- вскричал он яростно и покраснел, как вареный рак. -- Я не хатит продавайт крокодиль. Я миллион талер не стану браль за крокодиль. Я сто тридцать талер сегодня с публикум браль, а завтра десять тысяч талер собраль, а потом сто тысяч талер каждый день собираль. Не хочу продаваль!

Иван Матвеич даже захихикал от удовольствия.

Скрепя сердце, хладнокровно и рассудительно, -- ибо исполнял обязанность истинного друга, -- намекнул я сумасбродному немцу, что расчеты его не совсем верны, что если он каждый день будет собирать по сту тысяч, то в четыре дня у него перебывает весь Петербург и потом уже не с кого будет собирать, что в животе и смерти волен бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеич заболеть и помереть и проч., и проч.

Немец задумался.

-- Я будет ему капли из аптеки даваль, -- сказал он, надумавшись, -- и ваш друк не будет умираль.

-- Капли каплями, -- сказал я, -- но возьмите и то, что может затеяться судебный процесс. Супруга Ивана Матвеича может потребовать своего законного супруга. Вы вот намерены богатеть, а намерены ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию Елене Ивановне?

-- Нет, не мереваль! -- решительно и строго отвечал немец.

-- Нетт, не мереваль! -- подхватила, даже со злобою, муттер.

-- Итак, не лучше ли вам взять что-нибудь теперь, разом, хоть и умеренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? Долгом считаю присовокупить, что спрашиваю вас не из одного только праздного любопытства.

Немец взял муттер и удалился с нею для совещаний в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобразнейшей из всей коллекции обезьяной.

-- Вот увидишь! -- сказал мне Иван Матвеич.

Что до меня касается, я в эту минуту сгорал желанием, во-первых, -- избить больно немца, во-вторых, еще более избить муттер, а в-третьих, всех больше и больнее избить Ивана Матвеича за безграничность его самолюбия. Но всё это ничего не значило в сравнении с ответом жадного немца.

Насоветовавшись с своей муттер, он потребовал за своего крокодила пятьдесят тысяч рублей билетами последнего внутреннего займа с лотереею, каменный дом в Гороховой и при нем собственную аптеку и, вдобавок, -- чин русского полковника.

-- Видишь! -- торжествуя, прокричал Иван Матвеич, -- я говорил тебе! Кроме последнего безумного желания производства в полковники, -- он совершенно прав, ибо вполне понимает теперешнюю ценность показываемого им чудовища. Экономический принцип прежде всего!

-- Помилуйте! -- яростно закричал я немцу, -- да за что же вам полковника-то? Какой вы подвиг совершили, какую службу заслужили, какой военной славы добились? Ну, не безумец ли вы после этого?

-- Безумны! -- вскричал немец обидевшись, -- нет, я ошень умна шеловек, а ви ошень глюп! Я заслужиль польковник, потому што показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат сидиль, а русский не может показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат сидиль! Я чрезвышайно умны щеловек и ошень хочу быль польковник!

-- Так прощай же, Иван Матвеич! -- вскричал я, дрожа от бешенства, и почти бегом выбежал из крокодильной. Я чувствовал, что еще минута, и я уже не мог бы отвечать за себя. Неестественные надежды этих двух болванов были невыносимы. Холодный воздух, освежив меня, несколько умерил мое негодование. Наконец, энергически плюнув раз до пятнадцати в обе стороны, я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Теперь умирай там от скуки каждый вечер, исполняя обязанность истинного друга! Я готов был прибить себя за это и действительно, уже потушив свечку и закрывшись одеялом, ударил себя несколько раз кулаком по голове и по другим частям тела. Это несколько облегчило меня, и я наконец заснул даже довольно крепко, потому что очень устал. Всю ночь снились мне только одни обезьяны, но под самое утро приснилась Елена Ивановна...

IV

Обезьяны, как догадываюсь, приснились потому, что заключались в шкафу у крокодильщика, но Елена Ивановна составляла статью особенную.

Скажу заранее: я любил эту даму; но спешу -- и спешу на курьерских -- оговориться: я любил ее как отец, ни более, ни менее. Заключаю так потому, что много раз случалось со мною неудержимое желание поцеловать ее в головку или в румяненькую щечку. И хотя я никогда не приводил сего в исполнение, но каюсь -- не отказался бы поцеловать ее даже и в губки. И не то что в губки, а в зубки, которые так прелестно всегда выставлялись, точно ряд хорошеньких, подобранных жемчужинок, когда она смеялась. Она же удивительно часто смеялась. Иван Матвеич называл ее, в ласкательных случаях, своей "милой нелепостью" -- название в высшей степени справедливое и характеристичное. Это была дама-конфетка и более ничего. Посему совершенно не понимаю, зачем вздумалось теперь тому же самому Ивану Матвеичу воображать в своей супруге нашу русскую Евгению Тур? Во всяком случае, мой сон, если не брать в расчет обезьян, произвел на меня приятнейшее впечатление, и, перебирая в голове за утренней чашкой чаю все происшествия вчерашнего дня, я решил немедленно зайти к Елене Ивановне, по дороге на службу, что, впрочем, обязан был сделать и в качестве домашнего друга.

В крошечной комнатке, перед спальней, в так называемой у них маленькой гостиной, хотя и большая гостиная была у них тоже маленькая, на маленьком нарядном диванчике, за маленьким чайным столиком, в какой-то полувоздушной утренней распашоночке сидела Елена Ивановна и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе. Была она обольстительно хороша, но показалась мне тоже и как будто задумчивою.

-- Ах, это вы, шалун! -- встретила она меня с рассеянной улыбкой, -- садитесь, ветреник, пейте кофе. Ну что вы вчера делали? Были в маскараде?

-- А разве вы были? Я ведь не езжу... к тому же посещал вчера нашего узника...

Я вздохнул и, принимая кофе, сделал благочестивую мину.

-- Кого? Какого это узника? Ах, да! Бедняжка! Ну, что он -- скучает? А знаете... я хотела вас спросить... Я ведь могу теперь просить развода?

-- Развода! -- вскричал я в негодовании и чуть не пролил кофе. "Это черномазенький!" -- подумал я про себя с яростью.

Существовал некто черномазенький, с усиками, служивший по строительной части, который слишком уж часто похаживал к ним и чрезвычайно умел смешить Елену Ивановну. Признаюсь, я его ненавидел, и сомнения не было, что он уж успел вчера видеться с Еленой Ивановной или в маскараде, или, пожалуй, и здесь, и наговорил ей всякого вздору!

-- Да что ж, -- заторопилась вдруг Елена Ивановна, точно подученная, -- что ж он там будет сидеть в крокодиле и, пожалуй, всю жизнь не придет, а я здесь его дожидайся! Муж должен дома жить, а не в крокодиле...

-- Но ведь это непредвиденный случай, -- начал было я в весьма понятном волнении.

-- Ах, нет, не говорите, не хочу, не хочу! -- закричала она, вдруг совсем рассердившись. -- Вы вечно мне напротив, такой негодный! С вами ничего не сделаешь, ничего не посоветуете! Мне уж чужие говорят, что мне развод дадут, потому что Иван Матвеич теперь уже не будет получать жалованья.

-- Елена Ивановна! Вас ли я слышу? -- закричал я патетически. -- Какой злодей мог вам это натолковать! Да и развод по такой неосновательной причине, как жалование, совершенно невозможен. А бедный, бедный Иван Матвеич к вам, так сказать, весь пылает любовью, даже и в недрах чудовища. Мало того -- тает от любви, как кусочек сахару. Еще вчера ввечеру, когда вы веселились в маскараде, он упоминал, что в крайнем случае, может быть, решится выписать вас в качестве законной супруги к себе, в недра, тем более что крокодил оказывается весьма поместительным не только для двух, но даже и для трех особ...

И тут я немедленно рассказал ей всю эту интересную часть моего вчерашнего разговора с Иваном Матвеичем

-- Как, как! -- вскричала она в удивлении -- Вы хотите, чтоб и я также полезла туда, к Ивану Матвеичу? Вот выдумки! Да и как я полезу, так в шляпке и в кринолине? Господи, какая глупость! Да и какую фигуру я буду делать, когда буду туда лезть, а на меня еще кто-нибудь, пожалуй, будет смотреть... Это смешно! И что я там буду кушать?.. и... и как я там буду, когда..., ах боже мой, что они выдумали!.. И какие там развлечения?.. Вы говорите, что там гуммиластиком пахнет? И как же я буду, если мы там с ним поссоримся, -- все-таки рядом лежать? Фу, как это противно!

-- Согласен, согласен со всеми этими доводами, милейшая Елена Ивановна, -- прервал я, стремясь высказаться с тем понятным увлечением, которое всегда овладевает человеком, когда он чувствует, что правда на его стороне, -- но вы не оценили одного во всем этом; вы не оценили того, что он, стало быть, без вас жить не может, коли зовет туда; значит, тут любовь, любовь страстная, верная, стремящаяся... Вы любви не оценили, милая Елена Ивановна, любви!

-- Не хочу, не хочу, и слышать ничего не хочу! -- отмахивалась она своей маленькой, хорошенькой ручкой, на которой блистали только что вымытые и вычищенные щеткой розовые ноготки. -- Противный! Вы доведете меня до слез. Полезайте сами, если это вам приятно. Ведь вы друг, ну и ложитесь там с ним рядом из дружбы, и спорьте всю жизнь о каких-нибудь скучных науках...

-- Напрасно вы так смеетесь над сим предположением, -- с важностию остановил я легкомысленную женщину, -- Иван Матвеич и без того меня звал туда. Конечно, вас привлекает туда долг, меня же только одно великодушие; но, рассказывая мне вчера о необыкновенной растяжимости крокодиловой, Иван Матвеич сделал весьма ясный намек, что не только вам обоим, но даже и мне в качестве домашнего друга можно бы поместиться с вами вместе, втроем, особенно если б я захотел того, а потому...

-- Как так, втроем? -- вскричала Елена Ивановна, с удивлением смотря на меня. -- Так как же мы... так все трое и будем там вместе? Ха-ха-ха! Какие вы оба глупые! Ха-ха-ха! Я вас непременно буду там всё время щипать, негодный вы эдакой, ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

И она, откинувшись на спинку дивана, расхохоталась до слезинок. Всё это -- и слезы, и смех -- было до того обольстительно, что я не вытерпел и с увлечением бросился целовать у ней ручки, чему она не противилась, хотя и выдрала меня легонько, в знак примирения, за уши.

Затем мы оба развеселились, и я подробно рассказал ей все вчерашние планы Ивана Матвеича. Мысль о приемных вечерах и об открытом салоне ей очень понравилась.

-- Но только надо будет очень много новых платьев, -- заметила она, -- и потому надо, чтоб Иван Матвеич присылал как можно скорее и как можно больше жалованья... Только... только как же это, -- прибавила она в раздумье, -- как же это его будут приносить ко мне в ящике? Это очень смешно. Я не хочу, чтоб моего мужа носили в ящике. Мне будет очень стыдно пред гостями... Я не хочу, нет, не хочу.

-- Кстати, чтоб не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семеныч?

-- Ах, был; приехал утешать, и, вообразите, мы с ним всё в свои козыри играли. Он на конфеты, а коль я проиграю -- он мне ручки целует. Такой негодный и, вообразите, чуть было в маскарад со мной не поехал. Право!

-- Увлечение! -- заметил я, -- да и кто не увлечется вами, обольстительная!

-- Ну уж вы, поехали с вашими комплиментами! Постойте, я вас ущипну на дорогу. Я ужасно хорошо выучилась теперь щипаться. Ну что, каково! Да, кстати, вы говорите, Иван Матвеич часто обо мне вчера говорил?

-- Н-н-нет, не то чтобы очень... Признаюсь вам, он более думает теперь о судьбах всего человечества и хочет...

-- Ну и пусть его! По договаривайте! Верно, скука ужасная. Я как-нибудь его навещу. Завтра непременно поеду. Только не сегодня; голова болит, а к тому же там будет так много публики... Скажут: это жена его, пристыдят.. Прощайте. Вечером вы ведь... там?

-- У него, у него. Велел приезжать и газет привезти. Ну вот и славно. И ступайте к нему и читайте. А ко мне сегодня не заезжайте. Я нездорова, а может, и в гости поеду. Ну прощайте, шалун.

"Это черномазенький у ней будет вечером", -- подумал я про себя.

В канцелярии я, разумеется, не подал и виду, что меня пожирают такие заботы и хлопоты. Но вскоре заметил я, что некоторые из прогрессивнейших газет наших как-то особенно скоро переходили в это утро из рук в руки моих сослуживцев и прочитывались с чрезвычайно серьезными выражениями лиц. Первая попавшаяся мне была -- "Листок", газетка без всякого особого направления, а так только вообще гуманная, за что ее преимущественно у нас презирали, хотя и прочитывали. Не без удивления прочел я в ней следующее:

"Вчера в нашей обширной и украшенной великолепными зданиями столице распространились чрезвычайные слухи. Некто N., известный гастроном из высшего общества, вероятно наскучив кухнею Бореля и --ского клуба, вошел в здание Пассажа, в то место, где показывается огромный, только что привезенный в столицу крокодил, и потребовал, чтоб ему изготовили его на обед. Сторговавшись с хозяином, он тут же принялся пожирать его (то есть не хозяина, весьма смирного и склонного к аккуратности немца, а его крокодила) -- еще живьем, отрезая сочные куски перочинным ножичком и глотая их с чрезвычайною поспешностью. Мало-помалу весь крокодил исчез в его тучных недрах, так что он собирался даже приняться за ихневмона, постоянного спутника крокодилова, вероятно полагая, что и тот будет так же вкусен. Мы вовсе не против сего нового продукта, давно уже известного иностранным гастрономам. Мы даже предсказывали это

наперед. Английские лорды и путешественники ловят в Египте крокодилов целыми партиями и употребляют хребет чудовища в виде бифштекса, с горчицей, луком и картофелем. Французы, наехавшие с Лессепсом, предпочитают лапы, испеченные в горячей золе, что делают, впрочем, в пику англичанам, которые над ними смеются. Вероятно, у нас оценят то и другое. С своей стороны, мы рады новой отрасли промышленности, которой по преимуществу недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Вслед за сим первым крокодилом, исчезнувшим в недрах петербургского гастронома, вероятно, не пройдет и года, как навезут их к нам сотнями. И почему бы не акклиматизировать крокодила у нас в России? Если невская вода слишком холодна для сих интересных чужестранцев, то в столице имеются пруды, а за городом речки и озера. Почему бы, например, не развести крокодилов в Парголове или в Павловске, в Москве же в Пресненских прудах и в Самотеке? Доставляя приятную и здоровую пищу нашим утонченным гастрономам, они в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и поучать собою детей естественной истории. Из крокодиловой кожи можно бы было приготовлять футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники, и, может быть, не одна русская купеческая тысяча в засаленных кредитках, преимущественно предпочитаемых купцами, улеглась бы в крокодиловой коже. Надеемся еще не раз возвратиться к этому интересному предмету".

Я хоть и предчувствовал что-нибудь в этом роде, тем не менее опрометчивость известия смутила меня. Не находя, с кем поделиться впечатлениями, я обратился к сидевшему напротив меня Прохору Саввичу и заметил, что тот уже давно следил за мною глазами, а в руках держал "Волос", как бы готовясь мне передать его. Молча принял он от меня "Листок" и, передавая мне "Волос", крепко отчеркнул ногтем статью, на которую, вероятно, хотел обратить мое внимание. Этот Прохор Саввич был у нас престранный человек: молчаливый старый холостяк, он ни с кем из нас не вступал ни в какие сношения, почти ни с кем не говорил в канцелярии, всегда и обо всем имел свое собственное мнение, но терпеть не мог кому-нибудь сообщать его. Жил он одиноко. В квартире его почти никто из нас не был.

Вот что я прочел в показанном месте "Волоса": "Всем известно, что мы прогрессивны и гуманны и хотим угоняться в этом за Европой. Но, несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы еще далеко не "созрели", как о том свидетельствует возмутительный факт, случившийся вчера в Пассаже и о котором мы заранее предсказывали. Приезжает в столицу иностранец-собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в Пассаже публике. Мы тотчас же поспешили приветствовать новую отрасль полезной промышленности, которой вообще недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Как вдруг вчера, в половине пятого пополудни, в магазин иностранца-собственника является некто необычайной толщины и в нетрезвом виде, платит за вход и тотчас же, безо всякого предуведомления, лезет в пасть крокодила, который, разумеется, принужден был проглотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтоб не подавиться. Ввалившись во внутренность крокодила, незнакомец тотчас же засыпает. Ни крики иностранца-собственника, ни вопли его испуганного семейства, ни угрозы обратиться к полиции не оказывают никакого впечатления Из внутри крокодила слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами (sic - Так (лат.)), а бедное млекопитающее, принужденное проглотить такую массу, тщетно проливает слезы. Незваный гость хуже татарина, но, несмотря на пословицу, нахальный посетитель выходить не хочет. Не знаем, как и объяснить подобные варварские факты, свидетельствующие о нашей незрелости и марающие нас в глазах иностранцев. Размашистость русской натуры нашла себе достойное применение. Спрашивается, чего хотелось непрошенному посетителю? Теплого и комфортного помещения? Но в столице существует много прекрасных домов с дешевыми и весьма комфортными квартирами, с проведенной невской водой и с освещенной газом лестницей, при

которой заводится нередко от хозяев швейцар. Обращаем еще внимание наших читателей и на самое варварство обращения с домашними животными: заезжему крокодилу, разумеется, трудно переварить подобную массу разом, и теперь он лежит, раздутый горой, и в нестерпимых страданиях ожидает смерти В Европе давно уже преследуют судом обращающихся негуманно с домашними животными. Но, несмотря на европейское освещение, на европейские тротуары, на европейскую постройку домов, нам еще долго не отстать от заветных наших предрассудков.

Дома новы, но предрассудки стары --

и даже и дома-то не новы, по крайней мере лестницы Мы уже не раз упоминали в нашей газете, что на Петербургской стороне, в доме купца Лукьянова, забежные ступеньки деревянной лестницы сгнили, провалились и давно уже представляют опасность для находящейся у него в услужении солдатки Афимьи Скапидаровой, принужденной часто всходить на лестницу с водою или с охапкою дров. Наконец предсказания наши оправдались: вчера вечером в половине девятого пополудни, солдатка Афимья Скапидарова провалилась с суповой чашкой и сломала-таки себе ногу. Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою лестницу; русский человек задним умом крепок, но жертва русского авось уже свезена в больницу. Точно так же не устанем мы утверждать, что дворники, счищающие на Выборгской с деревянных тротуаров грязь, не должны пачкать ноги прохожих, а должны складывать грязь в кучки, подобно тому как в Европе при очищении сапогов.. и т. д., и т. д."

-- Что же это, -- сказал я, смотря в некотором недоумении на Прохора Саввича, -- что же это такое?

-- А что-с?

-- Да помилуйте, чем бы об Иване Матвеиче пожалеть, жалеют о крокодиле.

-- А что же-с? Зверя даже, млекопитающего, и того пожалели. Чем же не Европа-с? Там тоже крокодилов очень жалеют. Хи-хи-хи!

Сказав это, чудак Прохор Саввич уткнулся в свои бумаги и уже не промолвил более ни слова.

"Волос" и "Листок" я спрятал в карман да, кроме того, набрал для вечернего развлечения Ивану Матвеичу старых "Известий" и "Волосов" сколько мог найти, и хотя до вечера было еще далеко, но на этот раз я пораньше улизнул из канцелярии, чтоб побывать в Пассаже и хоть издали посмотреть, что там делается, подслушать разные мнения и направления. Предчувствовал я, что там целая давка, и на всякий случай поплотнее завернул лицо в воротник шинели, потому что мне было чего-то немного стыдно -- до того мы не привыкли к публичности. Но чувствую, что я не вправе передавать собственные, прозаические мои ощущения ввиду такого замечательного и оригинального события.

Сон смешного человека

Фантастический рассказ

I

Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной — и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, — не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут.

А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете и что же — чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают, но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом все больше и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно — это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было . Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках: я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от задумчивости: об чем мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было все равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало все равно, и вопросы все удалились.

И вот, после того уж, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября, и с того времени я каждое мгновение мое помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой, и именно, помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом

отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, а тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и ото всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подальше, с улицы. Мне вдруг представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Я в этот день почти не обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели еще двое приятелей. Я все молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было все равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это: «Господа, ведь вам, говорю, все равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека, и просто потому, что мне было все равно. Они и увидели, что мне все равно, и им стало весело.

Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль: я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад, и как я ни беден, а купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он все лежал в ящике; но мне было до того все равно, что захотелось наконец улучить минуту, когда будет не так все равно, для чего так — не знаю. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет непременно уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль — не знаю.

И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! Мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней, и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!..» — но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему.

Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, продолжался содом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости — человек шесть стрюцких, пили водку и играли в штос старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно.

Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама, из полковых, приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми. И она и дети боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от страху какой-то припадок. Этот капитан, я наверно знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, но, странное дело (я ведь к тому и рассказываю это), капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было, — мне всегда все равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, — до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета и вот уже этак год. Я просиживаю всю ночь у стола в креслах и ничего не делаю. Книги читаю я только днем. Сижу и даже не думаю, а так, какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: «Так ли?», и совершенно утвердительно ответил себе: «Так». То есть застрелюсь. Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь наверно, но сколько еще просижу до тех пор за столом, — этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка.

II

Видите ли: хоть мне и было все равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, так же как и тогда, когда мне было еще в жизни не все равно. Я и почувствовал жалость давеча: уж ребенку-то я бы непременно помог. Почему ж я не помог девочке? А из одной явившейся тогда идеи: когда она дергала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне все на свете должно было стать теперь, более чем когда-нибудь, все равно. Отчего же я вдруг почувствовал, что мне не все равно и я жалею девочку? Я помню, что я ее очень пожалел; до какой-то даже странной боли и совсем даже невероятной в моем положении. Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолетного ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда уже я засел за столом, и я очень был раздражен, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек, и еще не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а следственно, могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет». Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убежден в этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет

после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди — я-то сам один и есть. Помню, что, сидя и рассуждая, я обертывал все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону и выдумывал совсем уж новое. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, — было бы мне все равно или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мною, и я всем существом моим знал, что это будет наверно, но они горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана же между тем стало тоже все утихать: они кончили в карты, устраивались спать, а пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. Я заснул совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающею ясностью, с ювелирски-мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во все продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает все это? Но довольно. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, — о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!

Слушайте.

III

Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, сидя, наставляю его прямо в сердце — в сердце, а не в голову; я же положил прежде непременно застрелиться в голову и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил.

Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь действительно ушибетесь в кровати, тут вы почувствуете боль и

всегда почти от боли проснетесь. Так и во сне моем: боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряслось и все вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-то твердом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, — и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро мирюсь с этим и, по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без спору.

И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно ощущение сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал.

Я лежал и, странно, — ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, — час или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее, и так далее, все через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую боль: «Это рана моя, — подумал я, — это выстрел, там пуля…» А капля все капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною:

— Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое — безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества!..

Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно сейчас все изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидал в темноте одну звездочку. «Это Сириус?» — спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем спрашивать. — «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой», — отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое есть, существует: «А, стало быть, есть и за гробом жизнь!» — подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: «И если надо быть снова, — подумал я, — и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то

не хочу, чтоб меня победили и унизили!» — «Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня», — сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унизительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое. Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня, не презирают, и надо мной не смеются, и даже не сожалеют меня, и что путь наш имеет цель, неизвестную и таинственную и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы.

— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, — вскричал я, — то где же земля? — и мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.

— И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша… совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. — вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.

— Увидишь все, — ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове.

Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..»

Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего

цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

IV

Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их: познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, но стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого

как я и ни разу не возбудить в таком как я чувство ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга как дети, это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез… Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым проникнутым любовью взглядом, когда, я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение,

порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было, — боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, — я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон. Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я… развратил их всех!

V

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться — не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость… О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желанием сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему

же «желанию», в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их хотят ли они возвратиться к нему? — то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердый Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья — выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось — к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их осквернённую ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут… ну, вот тут я и проснулся.

* * *

Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении; никогда со мной не случалось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей: никогда еще не засыпал я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, — вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый, заряженный, — но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, — что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!

И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того — люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так — не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И, уж конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, — не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но ненадолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, — вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я лгу, и охранила меня и направила. Но как устроить рай — я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!), — ну, а я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось! Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. А между тем ведь это только — старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас все устроится.

* * *

А ту маленькую девочку я отыскал… И пойду! И пойду!

Рассказ Достоевского — Бобок[46]

Герой рассказа «Бобок» — литератор-неудачник, спившийся до белой горячки, страдающий от зрительных и слуховых галлюцинаций. Подобный выбор повествователя объясняет фантастичность всего, что привиделось ему при посещении кладбища. А привиделось ему картины самого крайнего цинизма. Покойники в этом рассказе, хотя и телепатически, богохульствуют, развратничают, отринув все святое и чистое.

Критика, за немногим исключением, прошла мимо рассказа «Бобок». Немногие отзывы носят крайний отрицательный характер: «бессмысленный патологический этюд — таково было господствующее мнение современников». В журнальном обозрении журнала «Дело», «Бобок» характеризуется следующим образом: «...г-н Достоевский повествует, как на кладбище он подслушал разговоры погребенных уже покойников, как эти разлагающие трупы сплетничают, изъясняются в любви и.т.д. Положим, что все это фантастические рассказы, но самый уже выбор таких сюжетов производит на читателя болезненное впечатление и заставляет подозревать, что у автора что-то неладно в верхнем этаже».

Резко отрицательное суждение об этом произведении принадлежит и Андрею Белому: «для чего печатать все это свинство, в котором нет ни черточки художественности. Единственный смысл напугать, оскорбить, сорвать все святое. „Бобок“ для Достоевского есть своего рода расстреливание причастия; а игра словами „дух“ и „духовный“ есть хула на Духа Святого».

И разительным диссонансом этому мнению является суждение, принадлежащее М.М.Бахтину: «Вряд ли мы ошибаемся, если скажем, что „Бобок“ по своей глубине и смелости — одна из величайших мениппей во всей мировой литературе».

Подобные разногласия в оценке одного итого же художественного явления побуждают нас пытаться выяснить причины разнобоя в мнениях крупнейших творческих и научных авторитетов о «Бобке» и приблизиться к строго научному объяснению данного художественного опыта писателя.

Прежде всего, замети, что Андрей Белый не обратил внимания на жанровую суть произведения, на то, что «Бобок» — это фантастика. Затем, как можно отождествлять персонажа /спившегося, полусумасшедшего человека/ с автором? Наконец, А.Белый почему-то не проявил интереса к авторской позиции, а она, как выясняется при внимательном чтении, служит художественному развенчанию «подполья», обобщающая характеристика которого и дана в этом произведении.

Небольшое по объему произведение делится на пять фрагментов, фиксируемых с помощью отступов. В первом повествователь дает развернутую характеристику самому себе и объясняет фантастическую необыкновенность последующего.

Повествователь — спившийся литератор, понимающий, что стоит на грани помешательства. Он говорит: «Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова

[46] http://www.bukinistu.ru/russkaya-literatura-xix-v/rasskaz-dostoevskogo-bobok.html

болит. Я начинаю видеть какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так, как будто кто-то подле: „Бобок, бобок, бобок!“ Какой такой бобок? Надо развлечься».

Начиная рассказ, Достоевский подчеркивает свою отстраненность от образа повествователя: «Это не я; это совсем другое лицо». К тому же дается подзаголовок произведению — «Записки одного лица». Эта предосторожность не помешала А.Белому и другим критикам отождествлять автора рассказа с повествователем.

Следующие фрагменты текста углубляют раскрытие образа повествователя. Речь его отрывиста /«рубленный слог»/ и вместе афористична. Она обнаруживает приметы острого ума, но крайне циничного: «Ходил развлекаться, попал на похороны». О кладбище: «Мертвецов пятнадцать понаехало...» «Вот еще местечко!.. Во-первых, дух... Но дух, дух... Не желал бы быть здешним духовным лицом». Подчеркнутый каламбур выдает цинизм повествователя, его духовную ущербность.

Сидя на могильной плите, герой рассказа постепенно начинает различать голоса погребенных, ведущих между собой оживленный разговор. Выясняется, что сознание мертвецов после похорон на некоторое время сохраняется, что вполне допустимо в фантастическом жанре. Ситуация рассказа, таким образом, носит фантастический характер, хотя содержание «речей» покойников обнаруживает признаки трезвейшего реализма, доходящего временами до грубо натуралистических подробностей. Этими особенностями обнаруживается структурное родство «Бобка» с предшествующими произведениями, содержащими сатирические мотивы и образы.

В жанровом отношении перед нами фантастика сатирическая. Достоевский представляет здесь примеры психологии «подполья», то есть, крайних форм эгоцентризма, порождающих опустошительную бездуховность. Так, в рассказе многократно обыгрывается слово «дух» в оксюморонных значениях. Для рассказчика — в прямом смысле, как трупный запах, а для мертвецов — в переносном, очень значительном: ...тут вонь, так сказать, нравственная...

Духовная деградация замогильных персонажей изображается в рассказе по принципу неуклонного возрастания. Вначале солидные покойники развлекают себя игрой в преферанс /мысленно, конечно / и пустенькой болтовней, но затем они собираются рассказать друг другу самые «стыдные» эпизоды из своей жизни /ситуация знакомая читателю по роману «Идиот»/. Наконец, аморализм набирает силу, достигая степени самого грязного и отвратительного цинизма. Публика здесь собралась разномастная. Это генерал Первоедов, богатый лавочник, дамочка Авдотья Игнатьевна, наивный юноша, знатная барыня, надворный советник Лебезятников, тайный советник Тарасевич. Ключевая фигура в среде мертвецов — «негодяй псевдовысшего света» /так он себя величает/ — барон Клиневич. Именно он берет на себя роль инициатора перемен в поведении мертвецов:

" - Довольно, — порешил Клиневич, — я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время...Главное, два или три месяца жизни и в конце концов — бобок. Господа, я предлагаю ничего не стыдиться!..
— Ах, как я хочу ничего не стыдиться! — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.
— Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса.
— Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! — визгнула Авдотья Игнатьевна...
— Хи — хи — хи! — хихикала Катиш«.

Слово «бобок» в рассказе первоначально представляется малозначительным: «Есть, например, здесь один такой, который почти разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное; про какой-то бобок: „Бобок, бобок“, но и в нем, значит, жизнь еще теплится какой-то искрой...». Но затем это слово приобретает символическое значение, обозначая последний предел нравственного падения личности. Даже циник-рассказчик, терпимо относящийся к развлекающимся мертвецам, в конце концов, не выдерживает, гневно восклицая: «Нет, этого я не могу допустить, нет, воистину нет!...Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и — даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и...А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить...».

Повествователь собирается навестить другие участки кладбища в надежде наткнуться «и на утешительное».

Наиболее глубокий анализ этого произведения дан в монографии М.М.Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». Особенно хочется указать на два момента анализа, предпринятого исследователем. Первый — это подробнейший выяснение генезисов «Бобка». Бахтин убедительно показывает связь поэтики этого произведения с древнейшим жанром мениппеи. Это «почти классическая мениппея Достоевского. Жанр выдержан здесь с поразительной целостностью. Можно даже сказать, что жанр мениппеи раскрывает здесь свои лучшие возможности, реализует свой максимум. Это, конечно, менее всего стилизация умершего жанра. Напротив, в этом произведении Достоевского, жанр мениппеи продолжает жить своей полной жанровой жизнью».

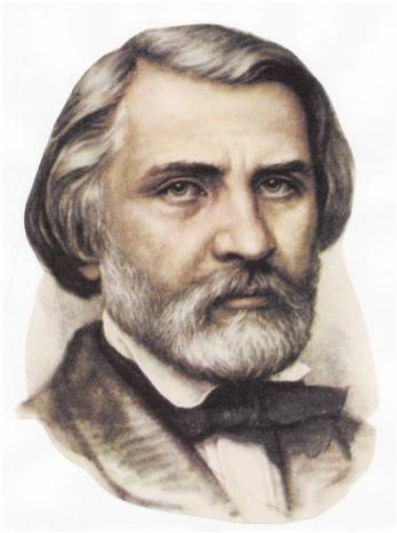
Несомненно влияние, по убеждению Бахтина, на создателя «Бобка» сказало творчество Лукиана, Сенеки, Буало, Гете, Дидро, фантастические и сказочные элементы Гофмана, фантастические рассказы Эдгара По.

Второй, столь же важный момент концепции Бахтина — это указание на связь «Бобка» со всем художественным миром Достоевского. «Маленький „Бобок“ — один из самых коротких сюжетных рассказов Достоевского — является почти микрокосмом всего его творчества. Очень многие, и притом важнейшие идеи, темы и образы его творчества — и предшествующего и последующего — проявляются здесь в предельно острой и обнаженной форме...».

Мы вправе заметить, что небольшой по объему рассказ «Бобок» играет существенную роль в образной системе Достоевского. Этот рассказ представляет собой художественный синтез всех самых отвратительных и циничных сторон духовного «подполья», раскрытию антигуманной сути которого посвящены многие произведения писателя. Фантастическая образность тут не самоцель, а эффективное художественное средство, обеспечивающее выполнение этой задачи.

Иван Тургенев

Справочный материал



Иван Сергеевич Тургенев (28 октября (9 ноября) 1818, Орёл, Российская империя - 22 августа (3 сентября) 1883, Буживаль, Франция) - русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик. Один из классиков русской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во второй половине XIX века. Член-корреспондент императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности (1860), почётный доктор Оксфордского университета (1879). Созданная им художественная система оказала влияние на поэтику не только русского, но и западноевропейского романа второй половины XIX века. Иван Тургенев первым в русской литературе начал изучать личность «нового человека» - шестидесятника, его нравственные качества и психологические особенности, благодаря ему в русском языке стал широко использоваться термин «нигилист». Являлся пропагандистом русской литературы и драматургии на Западе. Изучение произведений И. С. Тургенева является обязательной частью общеобразовательных школьных программ России. Наиболее известные произведения - цикл рассказов «Записки охотника», рассказ «Муму», повесть «Ася», романы «Дворянское гнездо», «Отцы и дети». Семья Ивана Сергеевича Тургенева происходила из древнего рода тульских дворян Тургеневых. В памятной книжке мать будущего писателя записала: «1818 года 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра. Крестили 4-го числа ноября, Феодор Семенович Уваров с сестрою Федосьей Николаевной Тепловой». Отец Ивана Сергей Николаевич Тургенев (1793-1834) служил в то время в кавалергардском полку. Беспечный образ жизни красавца-кавалергарда расстроил его финансы, и для поправки своего положения он вступил в 1816 году в брак по расчёту с немолодой, непривлекательной, но весьма состоятельной Варварой Петровной Лутовиновой (1787-1850). В 1821 году в звании полковника кирасирского полка отец вышел в отставку. Иван был вторым сыном в семье. Мать будущего писателя, Варвара Петровна, происходила из богатой дворянской семьи. Её брак с Сергеем Николаевичем не был счастливым. Отец умер в 1834 году, оставив троих сыновей - Николая, Ивана и рано умершего от эпилепсии Сергея. Мать была властной и деспотичной женщиной. Она сама рано лишилась отца, страдала от жестокого отношения своей матери (которую внук позднее изобразил в образе старухи в очерке «Смерть»), и от буйного, пьющего отчима, который нередко её бил. Из-за постоянных побоев и унижений она позже переехала к своему дяде, после смерти которого стала владелицей великолепного имения и 5000 душ. Варвара Петровна была непростой женщиной. Крепостнические привычки уживались в ней с начитанностью и образованностью, заботу о воспитании детей она сочетала с семейным деспотизмом. Подвергался материнским побоям и Иван, несмотря на то что считался любимым её сыном. Грамоте мальчика обучали часто сменявшиеся французские и немецкие гувернёры. В семье Варвары Петровны все говорили между собой исключительно по-французски, даже молитвы в доме произносились по-французски. Она много путешествовала и была просвещённой женщиной, много читала, но также преимущественно на французском. Но и родной язык и литература были ей не чужды: она и сама обладала прекрасной образной русской речью, а Сергей Николаевич требовал от детей, чтобы во время отцовских отлучек они писали ему письма по-русски. Семья Тургеневых поддерживала связи с В. А. Жуковским и М. Н. Загоскиным. Варвара Петровна следила за

новинками литературы, была хорошо осведомлена о творчестве Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя, которых в письмах к сыну охотно цитировала. Любовь к русской литературе юному Тургеневу привил также один из крепостных камердинеров (который позже стал прототипом Пунина в рассказе «Пунин и Бабурин»). До девяти лет Иван Тургенев жил в наследственном матушкином имении Спасское-Лутовиново в 10 км от Мценска Орловской губернии. В 1827 году Тургеневы, чтобы дать детям образование, поселились в Москве, купив дом на Самотёке. Учился будущий писатель вначале в пансионе Вейденгаммера, затем стал пансионером у директора Лазаревского института И. Ф. Краузе. В 1833 году в возрасте 15 лет Тургенев поступил на словесный факультет Московского университета. В то же время здесь обучались А. И. Герцен и В. Г. Белинский. Год спустя, после того как старший брат Ивана поступил в гвардейскую артиллерию, семья переехала в Санкт-Петербург, где Иван Тургенев перешёл в Петербургский университет на философский факультет. В университете его другом стал Т. Н. Грановский, будущий знаменитый учёный-историк западнической школы. Вначале Тургенев хотел стать поэтом. В 1834 году, будучи студентом третьего курса, он написал пятистопным ямбом драматическую поэму «Сте́но». Молодой автор показал эти пробы пера своему преподавателю, профессору российской словесности П. А. Плетнёву. Во время одной из лекций Плетнёв довольно строго разобрал эту поэму, не раскрывая её авторства, но при этом также признал, что в сочинителе «что-то есть». Эти слова побудили юного поэта к написанию ещё ряда стихотворений, два из которых Плетнёв в 1838 году напечатал в журнале «Современник», редактором которого он был. Опубликованы они были за подписью «....въ». Дебютными стихотворениями стали «Вечер» и «К Венере Медицейской». Первая публикация Тургенева появилась в 1836 году - в «Журнале Министерства народного просвещения» он опубликовал обстоятельную рецензию «О путешествии ко святым местам» А. Н. Муравьёва. К 1837 году им было написано уже около ста небольших стихотворений и несколько поэм (неоконченная «Повесть старика», «Штиль на море», «Фантасмагория в лунную ночь», «Сон»). В 1836 году Тургенев окончил университет со степенью действительного студента. Мечтая о научной деятельности, в следующем году он выдержал выпускной экзамен и получил степень кандидата. В 1838 году отправился в Германию, где поселился в Берлине и всерьёз взялся за учёбу. В Берлинском университете посещал лекции по истории римской и греческой литературы, а дома занимался грамматикой древнегреческого и латинского языков. Знание древних языков позволило ему свободно читать античных классиков. В мае 1839 года старый дом в Спасском сгорел, и Тургенев вернулся на родину, но уже в 1840 году вновь уехал за границу, посетив Германию, Италию и Австрию. Под впечатлением от встречи с девушкой во Франкфурте-на-Майне Тургенев позднее написал повесть «Вешние воды». В 1841 году Иван вернулся в Лутовиново. В начале 1842 года он подал в Московский университет просьбу о допуске к экзамену на степень магистра философии, однако в то время штатного профессора философии в университете не было, и его просьбу отклонили. Не устроившись в Москве, Тургенев удовлетворительно выдержал экзамен на степень магистра по греческой и латинской филологии на латинском языке в Петербургском университете и написал диссертацию для словесного факультета. Но к этому времени тяга к научной деятельности остыла, всё более стало привлекать литературное творчество. Отказавшись от защиты диссертации, он прослужил до 1844 года в чине коллежского секретаря в Министерстве внутренних дел. В 1843 году Тургенев написал поэму «Параша». Не очень надеясь на положительный отзыв, он всё же отнёс экземпляр В. Г. Белинскому. Белинский высоко оценил «Парашу», через два месяца опубликовав свой отзыв в «Отечественных записках». С этого времени началось их знакомство, которое в дальнейшем переросло в крепкую дружбу. Тургенев был даже крёстным у сына Белинского, Владимира. В ноябре 1843

года Тургенев создал стихотворение «Утро туманное», положенное в разные годы на музыку несколькими композиторами, в том числе А. Ф. Гедике и Г. Л. Катуаром. Наиболее известна однако романсовая версия, публиковавшаяся первоначально за подписью «Музыка Абаза». Принадлежность её В. В. Абазе, Э. А. Абазе или Ю. Ф. Абаза окончательно не установлена. После публикации стихотворение было воспринято как отражение любви Тургенева к Полине Виардо, с которой он встретился в это время. В 1844 году была написана поэма «Поп», которую сам писатель характеризовал скорее как забаву, лишённую каких-либо «глубоких и значительных идей». Тем не менее поэма привлекла общественный интерес своей антиклерикальной направленностью. Поэма была урезана российской цензурой, зато целиком печаталась за границей. В 1846 году вышли повести «Бретёр» и «Три портрета». В «Бретёре», ставшем второй повестью Тургенева, писатель попытался представить борьбу между лермонтовским влиянием и стремлением дискредитировать позёрство. Сюжет для его третьей повести, «Три портрета», был почерпнут из семейной хроники Лутовиновых. С 1847 года Иван Тургенев участвовал в преобразованном «Современнике», где сблизился с Н. А. Некрасовым и П. В. Анненковым. В журнале был опубликован его первый фельетон «Современные заметки», начали публиковать первые главы «Записок охотника». В первом же номере «Современника» вышел рассказ «Хорь и Калиныч», открывший бесчисленные издания знаменитой книги. Подзаголовок «Из записок охотника» прибавил редактор И. И. Панаев, чтобы привлечь к рассказу внимание читателей. Успех рассказа оказался огромным, и это навело Тургенева на мысль написать ряд других таких же. В 1847 году Тургенев с Белинским уехал за границу и в 1848 году жил в Париже, где стал свидетелем революционных событий. Будучи очевидцем убийства заложников, множества атак, строительства и падения баррикад февральской французской революции, он навсегда вынес глубокое отвращение к революциям вообще. Чуть позже он сблизился с А. И. Герценом, влюбился в жену Огарёва Н. А. Тучкову. Конец 1840-х - начало 1850-х годов стали временем наиболее интенсивной деятельности Тургенева в области драматургии и временем размышлений над вопросами истории и теории драмы. В 1848 году он написал такие пьесы, как «Где тонко, там и рвётся» и «Нахлебник», в 1849-м - «Завтрак у предводителя» и «Холостяк», в 1850-м - «Месяц в деревне», в 1851-м - «Провинциалка». Из них «Нахлебник», «Холостяк», «Провинциалка» и «Месяц в деревне» пользовались успехом благодаря прекрасным постановкам на сцене. Для освоения литературных приёмов драматургии писатель работал также над переводами Байрона и Шекспира. При этом он не пытался копировать драматургические приёмы Шекспира, он лишь интерпретировал его образы, а все попытки его современников-драматургов использовать творчество Шекспира в качестве образца для подражания, заимствовать его театральные приёмы вызывали у Тургенева лишь раздражение. В 1847 году он писал: «Тень Шекспира тяготеет над всеми драматическими писателями, они не могут отделаться от воспоминаний; слишком много эти несчастные читали и слишком мало жили». В 1850 году Тургенев вернулся в Россию, однако с матерью, умершей в том же году, он так и не увиделся. Вместе с братом Николаем он разделил крупное состояние матери и, по возможности, постарался облегчить тяготы доставшихся ему крестьян. После смерти Гоголя Тургенев написал некролог, который петербургская цензура не пропустила. Причиной её недовольства стало то, что, как выразился председатель Петербургского цензурного комитета М. Н. Мусин-Пушкин, «о таком писателе преступно отзываться столь восторженно». Тогда Иван Сергеевич отослал статью в Москву, В. П. Боткину, который напечатал её в «Московских ведомостях». Власти усмотрели в тексте бунт, и автора водворили на съезжую, где он провёл месяц. 18 мая Тургенева выслали в его родную деревню, и только благодаря хлопотам графа А. К. Толстого через два года писатель вновь получил право жить в столицах.

Существует мнение, что истинной причиной ссылки был не некролог Гоголю, а чрезмерный радикализм взглядов Тургенева, проявившийся в симпатиях к Белинскому, подозрительно частых поездках за границу, сочувственных рассказах о крепостных крестьянах, хвалебный отзыв эмигранта-Герцена о Тургеневе. Цензор Львов, пропустивший в печать «Записки охотника», был по личному распоряжению Николая I уволен со службы с лишением пенсии. Российская цензура наложила запрет также на повторное издание «Записок охотника», объясняя этот шаг тем, что Тургенев, с одной стороны, опоэтизировал крепостных крестьян, а с другой стороны, изобразил, «что крестьяне эти находятся в угнетении, что помещики ведут себя неприлично и противозаконно... наконец, что крестьянину жить на свободе привольнее». Во время ссылки в Спасском Тургенев ездил на охоту, читал книги, писал повести, играл в шахматы, слушал бетховенского «Кориолана» в исполнении А. П. Тютчевой с сестрой, проживавших в то время в Спасском, и время от времени подвергался наездам станового пристава. В 1852 году, ещё находясь в ссылке в Спасском-Лутовинове, написал ставший хрестоматийным рассказ «Муму». Большая часть «Записок охотника» создана писателем в Германии. Тургенев на охоте «Записки охотника» в 1854 году были выпущены в Париже отдельным изданием, хотя в начале Крымской войны эта публикация носила характер антирусской пропаганды, и Тургенев вынужден был публично выразить свой протест против недоброкачественного французского перевода Эрнеста Шаррьера. После смерти Николая I одно за другим были опубликованы четыре из наиболее значительных произведений писателя: «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860) и «Отцы и дети» (1862). Осенью 1855 года круг друзей Тургенева пополнился Львом Толстым. В сентябре того же года в «Современнике» был опубликован рассказ Толстого «Рубка леса» с посвящением И. С. Тургеневу. Тургенев принял горячее участие в обсуждении готовившейся Крестьянской реформы, участвовал в разработке различных коллективных писем, проектов адресов на имя государя Александра II, протестов и прочее. В 1860 году в «Современнике» вышла статья Н. А. Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?», в которой критик весьма лестно отозвался о новом романе «Накануне» и творчестве Тургенева вообще. Тем не менее Тургенева не устроили далеко идущие выводы Добролюбова, сделанные им по прочтении романа. Добролюбов поставил в связь замысел тургеневского произведения с событиями приближавшегося революционного преобразования России, с чем либерал Тургенев примириться никак не мог. В конце 1862 года Тургенев был привлечён к процессу 32-х по делу о «лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами». После предписания властей о незамедлительной явке в сенат Тургенев решил написать письмо к государю, постаравшись убедить его в лояльности своих убеждений, «вполне независимых, но добросовестных». Допросные пункты он попросил выслать ему в Париж. В конце концов он вынужден был выехать в 1864 году в Россию на сенатский допрос, где сумел отвести от себя все подозрения. Сенат признал его невиновным. Обращение Тургенева лично к императору Александру II вызвало жёлчную реакцию Герцена в «Колоколе». В 1863 году Тургенев поселился в Баден-Бадене. Писатель активно участвовал в культурной жизни Западной Европы, устанавливая знакомства с крупнейшими писателями Германии, Франции и Англии, пропагандируя русскую литературу за рубежом и знакомя русских читателей с лучшими произведениями современных ему западных авторов. В числе его знакомых или корреспондентов были Фридрих Боденштедт, Уильям Теккерей, Чарльз Диккенс, Генри Джеймс, Жорж Санд, Виктор Гюго, Шарль Сен-Бёв, Ипполит Тэн, Проспер Мериме, Эрнест Ренан, Теофиль Готье, Эдмон Гонкур, Эмиль Золя, Анатоль Франс, Ги де Мопассан, Альфонс Доде, Гюстав Флобер. Несмотря на жизнь за границей, все мысли Тургенева по-прежнему были связаны с Россией. Он написал роман «Дым» (1867 год), вызвавший много споров в русском обществе. По словам автора, роман ругали все:

«и красные, и белые, и сверху, и снизу, и сбоку - особенно сбоку». В 1868 году Тургенев стал постоянным сотрудником либерального журнала «Вестник Европы» и разорвал связи с М. Н. Катковым. С 1874 года в парижских ресторанах Риша или Пелле проходили знаменитые холостяцкие «обеды пяти» - Флобера, Эдмона Гонкура, Доде, Золя и Тургенева. Идея принадлежала Флоберу, но Тургеневу на них отводилась главная роль. Обеды проходили раз в месяц. На них поднимали разные темы - об особенностях литературы, о структуре французского языка, рассказывали байки и просто наслаждались вкусной пищей. Обеды проходили не только у парижских рестораторов, но и дома у самих писателей. В 1878 году на международном литературном конгрессе в Париже писатель был избран вице-президентом. 18 июня 1879 года его удостоили звания почётного доктора Оксфордского университета, при том что до него университет не оказывал такой чести ни одному беллетристу. Плодом размышлений писателя 1870-х годов стал самый крупный по объёму из его романов - «Новь» (1877), который также подвергся критике. Так, например, М. Е. Салтыков-Щедрин расценивал этот роман как услугу самодержавию. В апреле 1878 года Лев Толстой предложил Тургеневу забыть все бывшие между ними недоразумения, на что Тургенев с радостью согласился. Дружеские отношения и переписка возобновились. Тургенев объяснял значение современной русской литературы, в том числе творчества Толстого, западному читателю. В целом Иван Тургенев сыграл большую роль в пропаганде русской литературы за рубежом. Однако, Достоевский в романе «Бесы» изобразил Тургенева в виде «великого писателя Кармазинова» - крикливого мелкого, исписавшегося и практически бездарного литератора, считающего себя гением и отсиживающегося за границей. Подобное отношение к Тургеневу вечно нуждавшегося Достоевского было вызвано в том числе обеспеченным положением Тургенева в его дворянском быту и самыми по тем временам высокими литературными гонорарами: «Тургеневу за его "Дворянское гнездо" (я наконец прочёл. Чрезвычайно хорошо) сам Катков (у которого я прошу 100 руб. с листа) давал 4000 рублей, то есть по 400 рублей с листа. Друг мой! Я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже, и наконец, я надеюсь написать совсем не хуже. За что же я-то, с моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400?». Тургенев, не скрывая своей неприязни к Достоевскому, в письме М. Е. Салтыкову-Щедрину 1882 года (после смерти Достоевского) также не пощадил своего оппонента, назвав его «русским маркизом де Садом». Его приезды в Россию в 1878-1881 годах стали настоящими триумфами. Тем тревожнее в 1882 году были вести о тяжёлом обострении его обычных подагрических болей. Весной 1882 года обнаружились и первые признаки заболевания, вскоре оказавшегося для Тургенева смертельным. При временном облегчении болей он продолжал работать и за несколько месяцев до кончины издал первую часть «Стихотворений в прозе» - цикл лирических миниатюр, который стал своеобразным его прощанием с жизнью, родиной и искусством. Парижские врачи Шарко и Жакко поставили писателю диагноз - грудная жаба. Вскоре к ней присоединилась межрёберная невралгия. Последний раз Тургенев был в Спасском-Лутовинове летом 1881 года. Зимы больной писатель проводил в Париже, а на лето его перевозили в Буживаль в имение Виардо. К январю 1883 года боли усилились настолько, что он не мог спать без морфия. Ему сделали операцию по удалению невромы в нижней части брюшной полости, но операция помогла незначительно, поскольку никак не облегчала болей в грудной области позвоночника. Болезнь развивалась, март и апрель писатель так мучился, что окружающие начали замечать минутные помутнения рассудка, вызванные отчасти приёмами морфия. Писатель полностью осознавал свою близкую кончину и смирился с последствиями болезни, которая лишила его возможности ходить или просто стоять. Противостояние между «невообразимо мучительным недугом и невообразимо сильным организмом» (П. В. Анненков) завершилось 22 августа (3 сентября) 1883 года в

Буживале под Парижем. Иван Сергеевич Тургенев скончался от миксосаркомы (злокачественной опухоли костей позвоночника). Врач С. П. Боткин свидетельствовал, что истинная причина смерти была выяснена лишь после вскрытия, во время которого учёными-физиологами был также взвешен его мозг. Как оказалось, среди тех, чей мозг был взвешен, Иван Сергеевич Тургенев обладал самым большим мозгом (2012 граммов, что почти на 600 граммов больше среднего веса). Смерть Тургенева стала большим потрясением для его почитателей, выразившимся в весьма внушительных похоронах. Похоронам предшествовали траурные торжества в Париже, в которых приняли участие свыше четырёхсот человек. Среди них было не менее ста французов: Эдмон Абу, Жюль Симон, Эмиль Ожье, Эмиль Золя, Альфонс Додэ, Жюльетта Адан, артист Альфред Дьедонэ, композитор Жюль Массне. К провожавшим обратился с прочувствованной речью Эрнест Ренан. В соответствии с волей покойного 27 сентября его тело было привезено в Петербург. Ещё от приграничной станции Вержболово на остановках служили панихиды. На перроне петербургского Варшавского вокзала произошла торжественная встреча гроба с телом писателя. Не обошлось и без недоразумений. На следующий день после отпевания тела Тургенева в соборе Александра Невского на улице Дарю в Париже 19 сентября известный народник-эмигрант П. Л. Лавров в парижской газете «Justice», редактируемой будущим премьер-министром социалистом Жоржем Клемансо, опубликовал письмо, в котором сообщал, что И. С. Тургенев по своей инициативе перечислял Лаврову ежегодно в течение трёх лет по 500 франков для содействия изданию революционной эмигрантской газеты «Вперёд». Российские либералы были возмущены этой новостью, посчитав её провокацией. Консервативная печать в лице М. Н. Каткова, наоборот, воспользовалась сообщением Лаврова для посмертной травли Тургенева в «Русском вестнике» и «Московских ведомостях» с целью воспрепятствовать чествованию в России умершего писателя, чьё тело «без всякой огласки, с особой осмотрительностью» должно было прибыть в столицу из Парижа для погребения. Следование праха Тургенева очень беспокоило министра внутренних дел Д. А. Толстого, опасавшегося стихийных митингов. По словам редактора «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, сопровождавшего тело Тургенева, меры предосторожности, предпринятые чиновниками, были столь неуместны, как если бы он сопровождал Соловья-разбойника, а не тело великого писателя.[47]

Страхов Н. Н. Дым[48]

Главный герой этой повести есть, очевидно, Литвинов; его чувствам, волнениям и действиям отведено в рассказе самое большое место; ему достается то, что достается только избранным, именно любовь -- даже не одной, а двух, далеко выдающихся над общим уровнем женщин: ослепительной Ирины и ангельской Татьяны; наконец, из его мыслей, из его рассуждений о собственных его приключениях, взято и самое слово "Дым", которым так многознаменательно обозначена повесть.

---

[47] *Источник: http://stuki-druki.com/authors/Turgenev.php Штуки-дрюки*

[48] *Страхов Н. Н. Литературная критика / Вступит. статья, составл. Н. Н. Скатова, примеч. Н. Н. Скатова и В. А. Котельникова.-- М.: Современник, 1984.-- (Б-ка "Любителям российской словесности").*

Итак, хотя ошибка невольно напрашивается, но ошибиться невозможно: Литвинов -- главное лицо. Что же это за герой?

Подобно прежним героям г. Тургенева это мелкопоместный владелец, человек средней руки; подобно прежним героям он взят в цветущую эпоху жизни -- главные события совершаются с ним, когда ему наступает тридцать лет. Но затем начинается новое. Литвинов, как оказывается, человек положительный (стр. 127), предусмотрительный, благоразумный (стр. 108), честный и справедливый (стр. 95), человек прямой и всегда говорящий правду (стр. 72), человек живой, а не мертвая кукла (стр. 67 и стр. 74), дельный, несколько самоуверенный малый (стр. 8), спокойный и простой (стр. 11).

Вот какими похвальными чертами рисуется герой. Он стоит далеко выше окружающей его толпы юношей, так, что и смело обрывает их, как власть имущий, и возбуждает их удивление. Восторженный Бамбаев так говорит о нем с приятелями: "Видите вы этого человека? Это камень! Это скала! Это гранит!!!..." (стр. 86).

Ну, а дальше? Какие взгляды, какие вкусы у этого человека? По тщательному исследованию оказывается, что Литвинов не имеет никаких политических убеждений (стр. 19) и равнодушен к родной словесности (стр. 147). У этого положительного человека существует, однако же, одно пристрастие. "Пожив в деревне, он пристрастился к хозяйству" и потому отправился за границу и там четыре года изучал агрономию и технологию" {стр. 10).

Вот вам и весь герой. В нем ничего нет, кроме благоразумия и честности. Этому человеку не о чем думать и нечего говорить, и он, действительно, ничего не говорит, а только слушает, что говорят другие. Совершенно ясно, что, несмотря на похвалы, расточаемые Литвинову и автором и другими лицами, автор не мог даже порядочно заинтересоваться такою будничною, бесцветною личностью. Тургеневу ли не знать, как рисуются интересные лица, Рудины, Базаровы, как схватывается в них каждая черта, каждое слово, каждое движение и как все вместе составляет отчетливый, ясный образ! В отношении к Литвинову автор и не пытается сделать что-либо подобное, и образа перед нами никакого нет.

Между тем ведь ясно, что в нем автор хотел изобразить одного из представителей современной молодежи, из тех трезвых или отрезвленных людей, которые теперь нужны для России, которые имеют принести пользу своим землякам (стр. 10), которым в настоящую минуту принадлежит деятельность, жизнь, будущность. Но, как видно, не знает этих людей художник или и знает, да нет у него к ним сердечного внимания.

С Литвиновым, судя по его натуре, не должно бы случаться никаких особых приключений; "но,-- как замечает автор,-- природа не справляется с логикой, с нашею человеческою логикой; у ней есть своя, которой мы не понимаем и не признаем до тех пор, пока она нас, как колесом, не переедет" (стр. 127). Вот в силу такого-то, таинственного, но всесильного и неотразимого действия природы (мысль истинно-поэтическая!) и сбылись с Литвиновым происшествия, о которых рассказывает повесть.

Представительницею таинственной природы является некоторая Ирина и по справедливости приковывает к себе все внимание художника и все сочувствие читателей. Ирина весьма сильно заинтересовалась Литвиновым -- гораздо сильнее, чем интересуются им и автор и читатели,-- и тем чуть было не погубила героя. Два раза она сходится с Литвиновым; в первый раз она чуть не вышла за него замуж, во второй раз чуть не убежала с

ним от своего мужа. И в том и в другом случае гибель Литвинова была бы неизбежна. В самом деле, и в том и в другом случае Литвинов отдается Ирине весь, всем существом своим; Ирина же скоро чувствует, что не может отдаться Литвинову вся, всеми своими мыслями, чувствами и потребностями. И в том и в другом случае Литвинов целиком заполнен только частью Ирины, только внешнею ее прелестью, обаянием красоты; души ее он не понимает и по складу своего ума совершенно не способен понять ее и сродниться с нею. Таким образом, после того, как два раза эта женщина обращала на него порывы своей страстности, после того, как он даже владел ею, она все-таки не стала для него понятною и знакомою: через два года в его душе Ирина "побледнела и скрылась, и только смутно чуялось Литвинову что-то опасное под туманом, постепенно окутавшим ее образ" (стр. 153).

В первый раз, когда Ирине довелось сойтись с Литвиновым, она была семнадцатилетней девушкой, а он двадцатилетним юношей, студентом. Красота Ирины была так поразительна, что "он влюбился в нее, как только увидал ее" (стр. 36). С ее стороны, вероятно, было не то: любовь к Литвинову явилась как отзыв на его любовь, как первое пробуждение женского сердца. Как бы то ни было, он счастлив, он ее жених. Но в девушке говорят еще другие инстинкты. Она возмущается тем, что сама ходит замарашкой, что Литвинов часто бывает вовсе не distinguê. Не то с Литвиновым: "Ирина вполне завладела своим будущим женихом, да и он сам охотно отдался ей в руки. Он словно попал в водоворот, словно потерял себя... Размышлять о значении, об обязанностях супружества, о том, может ли он, столь безвозвратно покоренный, быть хорошим мужем, и какая выйдет из Ирины жена, и правильны ли отношения между ними, он не мог решительно: кровь его загорелась, и он знал одно: идти за нею, с нею, вперед и без конца, а там будь что будет!" (стр. 39).

И все-таки -- какая сила и нежность в чувстве Ирины: Наступает минута испытания -- бал в дворянском собрании, где будет и двор. Ирина отказывается ехать. Так верно знает она себе цену, так хорошо понимает, что может случиться на этом бале. Для Литвинова она отказывается от дороги, открытой ей в высший свет.

Литвинов ничего не понимает. Он сам уговаривает Ирину ехать на бал. Вероятно, и тогда уже мечтавший об агрономии и равнодушный к русской словесности, он не имеет настолько воображения, чтобы представить, что делается и может сделаться в душе Ирины, чтобы приревновать ее к этому блеску, в котором она будет жить несколько часов, в котором не он, а что-то другое может до конца наполнить ее душу.

Его непонимание раздражает Ирину.

"-- Помните,-- говорит она ему,-- вы сами этого желали".

Затем она требует, чтобы его не было на бале.

"-- Покоряюсь,-- отвечает со вздохом Литвинов и, спохватившись, прибавляет:-- Ирина, ты как будто сердишься?

-- О, нет, я не сержусь. Только ты... -- Она вперила в него свои глаза, и ему показалось, что он еще никогда не видал в них такого выражения" (стр. 42).

Очевидно, в этом недоконченном "ты"... и в этом взгляде содержится приговор Литвинову. Ирина ищет над собою власти и управы и ясно чувствует, что она не найдет их в Литвинове.

Уже совсем одетая на бал, она еще раз отдается во власть и распоряжение его и опять встречает покорный отказ. Тогда она уже перестает и слушать его и глядеть на него.

Несмотря на все это, Ирина ужасно страдает; она плачет целую ночь, она во всем обвиняет себя и пишет Литвинову, чтобы он простил ее, что она его не стоит.

Литвинов же уже на третий день после бала, после того, как Ирина дважды отказалась его видеть, все еще ничего не понимает.

"Ирина не хочет меня видеть, -- беспрестанно вертелось у него в голове -- это ясно; но почему же? Что такое могло произойти на этом злополучном бале?"

И понимает все только тогда, наконец, когда прочитал он записку.

"Все это естественно,-- думает он,-- я всегда этого ожидал... (Он лгал перед самим собою,-- замечает автор: -- он никогда ничего подобного не ожидал)".

Он сомневается в ее страданиях:

"Плакала?.. Она плакала... О чем она плакала? Ведь она не любила меня!" (стр. 47).

Но и в самом порыве отчаяния он чувствует ее превосходство.

"Она, она меня не стоит... вот как!" (стр. 48). Очевидно, если б она решилась удовольствоваться Литвиновым, то он был бы в ее руках, никогда бы ее не понял и был бы несчастлив.

Проходит десять лет. Литвинов опять счастлив. Он изучил агрономию и технологию; у него есть невеста, подруга его детства, Татьяна Шестова, которая, неизвестно зачем, может быть ради некоторого довершения образования, тоже находится за границею, в Дрездене, где и приняла его предложение. Литвинову предстоит жениться и вступить на новое поприще, к которому он вполне готов. Он спокоен и весел.

А Ирина? Ирина не нашла себе счастья. Она вступила в высший свет, и даже, в силу каких-то странных обстоятельств, на которые автор набрасывает покров, заняла в этом свете высокое и твердое место. Это видно из того, как она помыкает своим мужем, посылая его к какому-то графу, которого называет дураком (стр. 70), из того, что презрительно смеется над мужем, когда тот вздумал приревновать ее (стр. 93), из того, что она обещает Литвинову, если тот хочет, найти занятия в Петербурге (стр. 134). Но, занимая высокое и твердое положение в высшем свете, Ирина глубоко несчастлива, потому что находит этот свет пустым, глупым и бездушным. У нее нет в нем никаких привязанностей; единственный ее приятель, Потугин, взят ею из другого мира. Это мелкий чиновник из семинаристов, человек, надломленный жизнью и глубоко симпатичный.

И вот они случайно встречаются после десятилетней разлуки. Литвинов все забыл, душа его полна новыми чувствами и заботами. Ирина ничего не забыла; "среди блеска, который ее окружает", она следила за судьбою Литвинова, и никто не успел загладить и вытеснить из ее души этого воспоминания. Поэтому Литвинов встречается с нею холодно, а она ужасно ему обрадовалась.

Но при первой встрече пустые аристократы, среди которых он застает ее, возмущают его гордость, "его честную, плебейскую гордость" (стр. 58), в которой, однако, слишком много щекотливости и слишком мало самоуверенности, и он решается не идти к ней. Однако же и тут, несмотря на свою холодность и отвращение, он не мог не заметить душевной силы и прелести Ирины. "Почему,-- думает он,-- на ней не лежит того противного светского отпечатка, которым так резко отмечены все те другие. Почему, ему сдается, она как будто скучает, или грустит, или тяготится своим положением. Она в их стане, но она не враг" (стр. 59).

Литвинов опять ничего не понимает. "Литвинов взялся за книгу",-- пишет автор; вероятно, за агрономическую, и, конечно, не нашел в ней разъяснения своих мыслей.

А как должно было поразить Ирину то, что он нейдет к ней! Когда, наконец, Потугин привел к ней Литвинова, она так выражает свою радость: "Наконец-то, наконец, один человек, живой человек, который нашего ничего не знает! И по-русски можно с ним говорить, хоть дурным русским языком, да русским, а не этим вечным, приторным, противным, петербургским французским языком!" (стр. 67).

Но Литвинов начинает чувствовать опасность и тяжело упирается. Он не кланяется Ирине, встретив ее в горах. Вольно подстрекает это Ирину.

"Мне стало,-- говорит она ему на третьем свидании,-- уже слишком невыносимо, нестерпимо, душно в этом свете, в этом завидном положении, о котором вы говорите; встретив вас, живого человека, после всех этих мертвых кукол, я обрадовалась, как источнику в пустыне..." (стр. 74).

"Я протягиваю к вам руку, как нищая, я милостыни прошу, а вы..."

"Я требую малого, очень малого, только немножко участия, только чтобы не отталкивали меня, душу дали бы отвести..." (стр. 75).

А что же Литвинов? "Он не мог себе дать ясного отчета в том, что он ощущал". "Чудачки эти светские женщины,-- думал он, -- никакой в них нет последовательности..." (стр. 76).

Происходит еще свидание, на котором Ирина показывает Литвинову большой свет, и затем все кончено. Литвинов не спит ночь в тяжелых думах. "Он еще удивлялся и недоумевал,-- пишет автор,-- а вот уже перед ним, словно из мягкой душистой мглы, выступал пленительный облик, поднимались лучистые ресницы -- и тихо, неотразимо вонзались ему в сердце волшебные глаза, и голос звенел сладостно, и блестящие плечи молодой царицы дышали свежестью и жаром неги..." (стр. 96).

Литвинов влюблен, как говорится, по уши.

Все ясно, все отчетливо в душе Ирины. Пусть читатели перечтут те немногие, но удивительные страницы, где она является на сцену. Она недаром говорит Литвинову при первой же встрече, что она "ни в чем не переменилась". Какая искренность, простота в каждом ее слове! Сколько задушевности, теплоты, живой, так сказать, горячей прелести!

Напротив, все смутно и тяжело в душе Литвинова. Он отдается страстному чувству не свободно, не радуясь этому наплыву и избытку жизни, а стараясь подавить его и сохранить свое спокойствие. Дело в том, что любовь Литвинова только половинчатая. Он не

сочувствует, не сострадает Ирине, он скорее боится ее и смотрит на нее, как на существо более сильное. Его покорила одна ее красота. Опять он чувствует, как в Москве, что он попал в руки Ирины, что он "отчас попал в водоворот" (стр. 97).

Литвинов понимает, что ему следует уехать, но он хитрит сам с собою, как хитрят люди влюбленные, и идет к Ирине, по-видимому, с тем, чтобы проститься, а втайне с тем, чтобы признаться ей в любви и посмотреть, что будет. Действие, произведенное признанием на Ирину, опять совершенно ясное и отчетливое: на лице ее, закрытом руками, происходило вот что: "и страх и радость выражало оно, и какое-то блаженное изнеможение и тревогу; глаза едва мерцали из-под нависших век, и протяжное, прерывистое дыхание холодило раскрытые, словно жаждавшие губы..."

Когда, через два часа, он вернулся к ней, она с своей стороны признается ему в любви. Действие, произведенное на него признанием, вполне сообразно с его состоянием. "Литвинов пошатнулся, словно кто его в грудь ударил". И далее: "он задыхался: восторг, но восторг безотрадный и безнадежный, давил и рвал его грудь" (стр. 103).

После признаний Литвинов решается ехать, потому что, как сказала Ирина, оставаться опасно, страшно... Литвинов, конечно, и уехал бы, точно так, как он уехал через три дня. Но не так решила Ирина. Она идет к Литвинову, и тот "побежден, но побежден внезапно..." (стр. 105).

В ней загорелась удивительная нежность к этому человеку. Ей было ужасно жаль его и тогда, в Москве, и теперь, и вот она решилась всем пренебречь, всем пожертвовать, чтобы только его осчастливить (стр. 129). Чувства Ирины вполне выражаются в словах, сказанных ею Литвинову на другой день:

"-- О, мой милый! ты не знаешь, как я тебя люблю, но вчера я только долг свой заплатила, я загладила прошедшую вину... Ах! я не могла отдать тебе мою молодость, как бы я хотела, но никаких обязанностей я не наложила на тебя, ни от какого обещания я не разрешила тебя, мой милый! Делай что хочешь; ты свободен, как воздух, ты ничем, ничем не связан; знай это, знай!" (стр. 114).

Какая беззаветная, бесконечная нежность! В ответ на эти слова Литвинов говорит:

"-- Но я не могу жить без тебя, Ирина; я твой навеки и навсегда со вчерашнего дня... Только у ног твоих я могу дышать..."

Он трепетно придал к ее рукам. Ирина посмотрела на его наклоненную голову,

"-- Ну, так знай же, что и я не пожалею никого и ничего. Как ты решишь, так и будет. Я тоже навек твоя... твоя".

Итак, любовь, всесильная страсть покорила себе эти существа и взяла верх над всеми прежними связями и отношениями. Литвинов отказывается от своей невесты и своей будущности. Ирина нарушила свой супружеский долг и готова покинуть свое блестящее положение.

Но что же делать дальше? На минуту страсть покрыла все и не дает любящим видеть своего положения. Но безвыходность этого положения должна же раскрыться, и она раскрывается очень быстро, благодаря душевному разладу, происходящему в душе Литвинова.

Ирина весьма справедливо замечает, что это "человек, который сам не знает, что происходит в его душе" (стр. 130). И художник, правдиво изображающий безобразие его чувств, невольно приходит к заключению, что "людям положительным, вроде Литвинова, не следовало бы увлекаться страстью" (стр. 127). В самом деле, Литвинов не хотел любить Ирину и полюбил; не хотел овладеть ею и владел; не хотел отказываться от Татьяны и отказался. Наделавши таких дел, которых не следовало бы делать, и весьма последовательно считая себя за то вором и подлецом, Литвинов думает поправить все тем, что увезет Ирину и навсегда соединится с нею, то есть думает все поправить делом, которое всего менее следует ему делать, которое окончательно погубило бы и его и Ирину.

Ирина согласна. Она первая написала ему, что готова пойти за ним на край света. Но где же ему, такому слабому, "безвозвратно покоренному", с такой сумятицею в голове и сердце, увлечь за собою такую сильную женщину! И потом, чем он наполнит ее жизнь, чем заменит тот блеск, который теперь ее окружает?

Литвинов колеблется и пишет Ирине письмо, в котором просит подумать и "не брать на себя ношу не по плечам". Когда он потом приходит к ней и, заставши ее в слезах, просит объявить ему приговор, она невольно меряет глазами его душу.

"-- Не гляди на меня такими глазами,-- говорит он ей... -- Они напоминают мне прежние московские глаза.

Ирина вдруг покраснела и отвернулась, как будто сама чувствуя что-то неладное в своем взоре" (стр. 139).

Литвинов, по обычаю, не понимает, что приговор уже сказан. Но Ирине не хочется выйти из под обаяния; она, плача, все обещает Литвинову и начинает ласкать его. "День наш -- век наш",-- говорит она благоразумному юноше, и тот ничего не возражает на такое неблагоразумное правило. И до того потерялся Литвинов, до того его отуманила страсть, что он не видит практической несбыточности дела, которое затеял. Он попадает в комическое положение человека, не смеющего самому себе сознаться в нелепости своих планов. По художественной правдивости, автор, столь много восхваляющий своего героя, изобразил, однако, его и в эту минуту, изобразил с сожаленьем, но не без язвительности. Литвинов, положительный, практический Литвинов идет к банкиру занимать деньги! Потом играет в рулетку; "и он действительно,-- замечает автор,-- округлил свой капитал, спустив излишние двадцать восемь гульденов" (стр. 142). Разум его не был, однако, заглушён до конца, до полной слепоты. "Против его воли, мимо его воли, что-то несерьезное, почти комическое проступало, просачивалось сквозь все его размышления, точно самое его предприятие было шуточным".

Таким оно и оказалось. Ирина написала ему, что не может бежать с ним, не в силах оставить свет, в котором она живет.

После бури, поднятой в нем этим письмом, Литвинов наконец принимает твердое решение уехать. (Вообще решительности в нем очень много, по словам автора.) Он извещает Ирину, что отказывается от нее, и, действительно, уезжает, то есть он поступает, наконец, так, как следует, и перестает делать то, чего делать не следовало.

Проходит два года. Литвинов опять счастлив, как и следует быть счастливым человеку положительному. Он мирится со своею прежнею невестою, женится на ней и благоденствует, прилагая к делу свои агрономические познания.

А Ирина? Ирина по-прежнему несчастлива, по-прежнему блистает в большом свете, по-прежнему даже следит за Литвиновым; но только никого нет, кто бы занял в ее сердце какое-нибудь место. Литвинов очень ошибся, когда в порыве негодования думал, что "его заменит тучный генерал, или господин Фиников" (стр. 144).

Вот и вся басня новой повести г. Тургенева. Чему же сия басня научает? Кому в ней сочувствовать и кого осуждать?

Не пожалеть ли Литвинова? Но за что же? Очевидно, таким людям легко живется на белом свете. Обыкновенное их состояние есть состояние спокойствия, веселости и некоторой самоуверенности. Конечно, Ирина заставляет его несколько страдать. Но у благоразумного юноши достало духу тотчас (через три дня) оторваться от своей соблазнительницы, и затем вся эта история не оставила на нем никакой мрачной тени, никакого неизгладимого следа.

Другое дело Ирина. Она гораздо памятливее и не питает особенно светлого взгляда на жизнь. Когда Литвинов приходит к ней после своего мучительно-вырвавшегося признания, она говорит ему:

"-- Жить, вообще, не легко, Григорий Михайлович, как вы полагаете?" (стр. 102).

"-- Как кому!"-- грубо отвечает непроницательный юноша, желая намекнуть, что ей, вероятно, жить легко, а вот ему -- так очень тяжело. Но, судя по правдивому изображению художника, Ирине не обошлись без страданий ее встречи с Литвиновым, и даже нет сомнения, что на ее долю выпали более жгучие, более живые мучения. Вспомните сцены, когда Потугин уводит ее от квартиры Литвинова и когда она прибегает к отъезжающему вагону. Литвинов постоянно считает себя правым и имеющим на Ирину какие-то права; она же всегда кается, как виноватая, как нанесшая рану любимому существу.

Но Тургенев давно уже научил нас, как судить в подобных случаях. Мораль, которую он так долго проповедовал, которую он развил и разъяснил в целом ряде прекрасных произведений, заключается в том, что если мужчина не успевает вполне овладеть женщиною, добиться от нее полной, беззаветной любви, то значит, он ее не стоит, он так слаб, так мал, что не может наполнить собою ее душу. Следовательно, Литвинову поделом досталось. Он пигмей перед Ириной, как весьма выразительно и намекает ему на это философствующий Потугин: "Человек слаб, женщина сильна" {Это неправильный перевод с французского: l'homme est faible etc. Правильно нужно перевести: мужчина слаб и пр.},-- говорит он ему в виде предостережения (стр. 84).

Человек слаб, женщина сильна; природа имеет свою непостижимую для нас логику -- вот единственная мораль нашей басни. Она извлечена из нашей русской жизни и показывает нам, что у нас бывают женщины, в которых природа воплощает свою таинственную силу, женщины с таким обилием душевной мощи и прелести, с такою сияющею внутреннею и внешнею красотою, что перед ними все покоряется, и высший и низший свет, как будто перед урожденными царицами, что Потугины и Литвиновы внезапно теряют перед ними все свое благоразумие и решительность. Эти женщины иногда изливают избыток своей душевной жизни на таких людей, как Литвинов; но они не могут навсегда остановиться на Литвиновых,

как бы искренно этого ни хотели; над Финиковыми же и изящными генералами они смеются в глаза и потому остаются всю жизнь несчастными и страдающими, так как нигде не находят себе полного ответа равноправной силы.

Итак, Тургенев к числу прежних своих женских образов, которые он один умеет рисовать с таким глубоким пониманием, присоединил новый, который, по прелести и по несчастливой судьбе, станет рядом с Наташей (в "Рудине"), Асей, Лизой (в "Дворянском гнезде"), Еленой (в "Накануне")...

Но что же это? Куда мы зашли, следуя, однако, по стопам поэта, руководясь его ясными указаниями? Мы пришли к заключениям, которые прямо противоречат словам поэта, буквальным выражениям его повести. Насколько все лица повести хвалят Литвинова, настолько же они осуждают Ирину. Только сам поэт, сам рассказчик не решился коснуться ее ни единым словом. Но, по словам Потугина, эта женщина испорчена до мозга костей (стр. 84); ее недовольство своим положением Литвинов называет развращенною меланхолиею модной дамы (стр. 142); наконец, сама она, вечно виноватая и вечно кающаяся Ирина, пишет, что яд слишком глубоко проник в нее, что, видно, нельзя безнаказанно в течение многих лет дышать этим воздухом (стр. 143). И таким образом, вся повесть превращается, в глазах Литвинова, в рассказ о безнравственности высшего света и о гибели, уготовляемой светскими дамами неопытным юношам (стр. 118). Посмотрим, однако, в чем состоит эта испорченность, этот яд. Образ Ирины далеко не дорисован художником, но те черты, которые он уопел набросать, очень ясны. Ирина любит роскошную, блестящую светскую жизнь. Но роскошь, как замечает одна из героинь г. Тургенева (Зинаида в "Первой любви"), -- красива, следовательно, имеет непререкаемое право на любовь. В самом "Дыме" граф Рейзенбах весьма остроумно замечает по поводу этого, что "мед сладок" (стр. 48). Что же касается до пустоты и пошлости, скрывающейся под блеском и роскошью в высшем свете, то Ирина их ненавидит всею душою. На ней самой не лежит "противного светского отпечатка" (стр. 59); "она никогда не гнушалась людей, низко поставленных, и графиня не раз пеняла ей за ее излишнюю, московскую фамильярность" (стр. 120); Ирина даже не равнодушна к русскому языку (стр. 67).

Итак, где же испорченность? Не в том ли, что она полюбила Литвинова? Да ведь это -- новое доказательство правильности ее симпатий, если судить по словам автора. Итак, все обвинение против Ирины заключается в том, что она не ушла с Литвиновым. Но спрашивается, взамен той, хотя призрачной, но блестящей жизни, которую она любила, что предлагал ей с своей стороны Литвинов? Какой мир, какую жизнь, какую деятельность, какую пищу для жадной души? Ничего, кроме собственной особы. Ну, если этого оказалось мало, то не другие же виноваты. Литвинов даже не Рудин с его неистощимым, увлекательным энтузиазмом, не Базаров, с которым, по выражению Одинцовой, "говоришь -- точно по краю пропасти ходишь"; Литвинов просто -- потерявшийся мальчик; из-за чего же тут жертвовать жизнью?

А ведь она чуть не пожертвовала! Чем жалеть Литвинова, не лучше ли немножко ее пожалеть? Мы решительно становимся на сторону почтенного Созонта Ивановича, который так хорошо знает Ирину; заметив отношения ее к Литвинову, он говорит ему: "Но я за нее боюсь... я боюсь за нее" (стр. 119).

"-- Много чести, господин Потугин",-- иронически отвечает Литвинов.

Но, как бы то ни было, честь эта досталась господину Литвинову. Возьмем дело с этой, так сказать, мужской точки зрения. Тогда окажется, что "Дым" повествует о том, как обольстительные юноши, подобные Литвинову, опасны для светских дам, как один из них чуть не погубил до конца одну из блистательнейших цариц великосветского общества.

Вот мы и довели до конца это трудное разбирательство. Мы изложили дело подробно для того, чтобы читатель мог отчетливо судить, насколько правильно заключение, выводимое из рассказанных событий самим автором. Это заключение он влагает в размышления Литвинова, которым тот предается, уезжая из Бадена и глядя на дым, вылетающий из трубы паровоза.

"Он глядел-глядел, и странное напало на него размышление... Он сидел один в вагоне; никто не мешал ему. "Дым, дым", -- повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь, все людское, особенно все русское" (стр. 150).

Положительно нет ничего в повести, что оправдывало бы такое странное размышление, даже ничего такого, что вязалось бы с ним.

Не дым ли высший свет? Конечно, не дым, если в нем являются такие сильные и прелестные женщины, как Ирина. Обладая всем, что есть хорошего в этом свете, они протестуют против его пошлости и пустоты, они неустанно язвят его и ищут для себя какого-нибудь выхода. Эти ищущие и страдающие силы, конечно, представляют прекрасный задаток. Как искренни они в своих исканиях, видно из того, что, будь Литвинов крошечку пошире и покрепче, Ирина отдалась бы ему безвозвратно.

Что же касается до низшего света, то тут дела обстоят еще благополучнее. Оказывается, что тут при помощи одного изучения агрономии и технологии можно быть веселым, спокойным и несколько самоуверенным, можно почти неотразимо привлекать к себе цариц высшего общества, не видящих вокруг себя подобных светлых личностей, и, наконец, можно достигнуть полного счастья, можно найти девушку, у которой "золотое сердце, истинно ангельская душа" (стр. 116), и навсегда соединить с нею свою судьбу.

Серьезно, мы находим в повести Тургенева слишком много счастья; на этот раз он слишком на него расточителен. Ни одного из прежних своих героев он не наделял счастьем так легко и так надолго, как Литвинова. Кроме несчастного Инсарова1, так быстро умершего, Тургенев даже не женил ни одного из своих героев и не давал им удачи в любви. Мы уже говорили, какая здесь крылась мораль. Мораль все та же со времен Онегина и Татьяны. Русское общество имеет так мало крепких основ, так сильно поражено различными недугами, что в нем трудно быть счастливым, ибо для счастья требуется прочный строй жизни, требуется атмосфера, в которой бы спокойно и свободно могли раскрываться душевные силы.

Как не сказать после этого, что Литвинову дешево досталось его счастье! Современные недуги прошли мимо него, и никакое сильное внутреннее стремление не беспокоило его.

Итак, откуда же отчаянная мысль, что все человеческое дым? Нужно говорить правду, это мысль не Литвинова, а самого г. Тургенева. Вот уже третье произведение, в котором проглядывает эта мысль. "Призраки", "Довольно"2, "Дым" -- все это вариации на старинную тему: суета сует и всяческая суета! В "Дыме" автор развивает ее почти так же, как древний Экклезиаст:

"Все дым и пар; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то, и все исчезает бесследно, ничего не достигая".

Не то же ли говорит Экклезиаст:

"Что пользы человеку во всем труде его, которым он трудится под солнцем. То, что было, есть то же, что будет; и то, что сделано было, есть то же, что сделано будет; и нет ничего нового под солнцем"3.

Мысль хотя не новая, как видит читатель, но хорошая; нельзя запретить поэту смотреть на вещи с этой стороны, если к тому влечет его душевное настроение. Нужно только, чтобы мысль была выражаема с надлежащею силою и поэтическою ясностью. К сожалению, этого нет. "Призраки" есть наиболее правильное из этих произведений. Эллис, сама воплощенная поэзия, носит поэта по земле, показывает ему современный мир и воскрешает перед ним грозные картины истории. С тоскою и унынием отворачивается поэт от настоящего и прошедшего и, наконец, встречает смерть и отдается ужасу при мысли о ничтожестве всего на свете.

В "Довольно" мысль о суете сует выражена наголо и не оправдана поэтически, а обставлена холодными и слабыми рассуждениями.

Наконец, в "Дыме", как мы видели, она нимало не связана с предметом, которому посвящен рассказ. Литвинов и проповедь о ничтожестве всего земного -- можно ли не видеть здесь явного разногласия?

Что не связано, то так несвязным и остается. Рассуждая о суете мирской, Литвинов нимало не думает пояснить свои рассуждения событиями своей жизни, но вдруг начинает говорить о совершенно других вещах, совершенно до него не касающихся. Вот продолжение его странного размышления: "Другой ветер подул, и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы... дым, шептал он, дым; вспомнились горячие споры, толки и крики у Губарева, у других, высоко и низко поставленные, передовых и отсталых, старых и молодых людей... дым, повторял он, дым и пар; вспомнился, наконец, и знаменитый пикник, вспомнились и другие суждения и речи других государственных людей -- и даже все то, что проповедовал Потугин... дым, дым и больше ничего" (там же).

Ветер переменился! Вот отчего все и показалось дымом, показалось опять-таки не в глазах Литвинова, а в глазах г. Тургенева; вот слово, объясняющее весь смысл романа, настоящий ключ к его загадке.

Что же это за ветер? Конечно, дело здесь не о том, что Ирина изменила Литвинову или что он изменил Татьяне и т. п. Нет, Литвинов ни с того ни с сего начинает размышлять о тех партиях, спорах и криках, в которых не принимал ни малейшего участия, которые не имели никакого отношения к истории его любви и о которых поэтому нам и не пришлось до сих пор говорить. В романе выведена на сцену целая толпа лиц всевозможных оттенков, консерваторов, либералов, радикалов и пр.; есть даже один спирит. Консерваторы, спириты и т. п. группируются около Ирины; радикалы и революционеры около некоторого Губарева. Сказать что-нибудь об этих лицах нет никакой возможности, до того слабо они обрисованы; об ином ничего и не узнаешь, кроме того, что у него гнусный затылок; три генерала

различаются тем, что один тучный, другой раздражительный, а третий снисходительный и т. д. По справедливому замечанию одного человека со вкусом, повесть г. Тургенева представляет большую картину, на которой не вполне дописано прелестное лицо Ирины, других же лиц совсем нет, и там, где им следует быть, поставлены мелом кружки вместо голов и линиями обозначено положение тела. Вот эти-то люди и составляют дым, а отнюдь не Ирина и Литвинов, которые не имеют с ними ничего общего.

Куда же несется этот дым? И какая случилась перемена ветра, в силу которой дым, как и подобает дыму, понесся в другую сторону? К сожалению, едва ли кто найдет в повести ясные ответы на эти вопросы. Одно только ясное и определенное указание нашли мы по сему предмету. Продолжая утешать себя размышлениями о важных материях, Литвинов между прочим думает:

"Вот в Гейдельберге теперь (1862) более сотни русских студентов; все учатся химии, физике, физиологии, ли о чем другом и слышать не хотят... а пройдет пять-шесть лет, и пятнадцати человек на курсах не будет у тех же знаменитых профессоров... Ветер переменится, дым хлынет в другую сторону... дым... дым... дым!" (стр. 152).

"Предчувствия Литвинова сбылись, -- прибавляет автор,-- в 1866 году было в Гейдельберге учащихся в летний семестр 13, в зимний 12".

Другое указание автор сделал невольно, обмолвившись. Именно, Потугин очень горячится в одном месте против повести г-жи Кохановской Рой на спокое. Но эта повесть появилась в 1864 году, а г. Потугин, предполагается, философствует против нее в 1862 г. Итак, эпохи несколько смешаны в повести, и все показывает, что ее тенденции ничуть не ограничиваются чертою 1862 года, а простираются и до настоящих дней. Вслушайтесь еще раз в речи Потугина, вникните в намеки, рассеянные в повести, и вы, наконец, поймете, о какой перемене ветра глубокомысленно рассуждает Литвинов.

Да, вот оно что! Действительно, ветер-то переменился, действительно несет в другую сторону. Это факт очевидный, обширный, ясный, общеизвестный. До 1862 года движение, постепенно возрастая, шло в одну сторону, после 1862 года оно поворотило и пошло в другую. Если уж говорить о переменах ветра, то сейчас же придет на мысль эта перемена, перед которой все другие ничтожны; опустить ее или не иметь ее в виду невозможно.

Увидев эту перемену, столь крутую, неожиданную, поразительную, г. Тургенев воскликнул из своего прекрасного далека: суета сует и всяческая суета! Все человеческое -- дым, а все русское -- дым по преимуществу!

Теперь, когда мы вскрыли внутреннюю подкладку повести, так сказать, ее нерв, нам легко уже будет судить о тех ее местах, где выражаются не поэтические, а публицистические мнения. В этой повести все задето, все наши партии, почти все явления нашей жизни, и высший свет, и учащаяся молодежь, и Глинка, и Телушкин4, и проч., и проч.

Можно подумать, что для ответа на все эти бранчивые и брезгливые отзывы придется воевать с г. Тургеневым целые годы, придется спорить без конца. Но дело гораздо проще и не требует особенно сильных военных приготовлений.

Немало в "Дыме" выходок против людей и мнений, принадлежащих к движению до 1862 года; но несравненно многочисленнее, продолжительнее и сравнительно сильнее выходки против

мнений и настроений, получивших верх после 1862 года. Увы! Не равнодушен наш поэт и не до конца искренно он исповедует, что все прах и суета. Ветер переменился, и все понесло в другую сторону; "все дым", шепчет поэт; но, несмотря на это успокоительное изречение, перемена, очевидно, раздражила поэта, и он написал повесть против господствующего ветра.

Ясно, как день, что в повести слышна раздражительность; ясно, как день, что эта раздражительность направлена против господствующего ветра. Этот ветер, вероятно, слышится г. Тургеневу, как и всякому, в каждом листке любой русской газеты. Это ветер противный обличительному и самооплевательному, веяние некоторой народной гордости, самоуверенности, большее уважение к нашей истории, большая вера в насущные силы России, большая надежда на ее будущность. Говоря литературными формулами, все мы до 1862 года были более или менее западниками, а после этого года все более или менее стали славянофилами. Вот та превратность земных вещей, которая не нашла себе сочувствия в душе нашего поэта.

Но -- трудно плыть против ветра! Кто же обратит внимание на эти брезгливые и мелкие выходки, когда жизнь, сама жизнь, сама история увлекает нас, когда то, над чем издевается г. Тургенев, не находится вдалеке от нас, не составляет предмета наших наблюдений со стороны, а составляет часть нас самих, составляет то, чем мы живем и волнуемся.

Мы, например, прилежно изучаем раскол; литература по расколу растет, и мы вникаем в нравственные причины, которые его породили и так тесно связаны с самою глубью нашего народного духа, и нам вдруг предлагают такое остроумное мнение: "Видят люди: большого мнения о себе человек, верит в себя, приказывает -- главное приказывает; стало быть, он прав, и слушаться его надо. Все наши расколы, наши Онуфриевщины да Акулиновщины точно так и основались. Кто палку взял, тот и капрал" (стр. 27).

Мы, например, оказались способными к естественным наукам. Имена наших натуралистов почетно известны в ученом мире; в наших университетах кафедры по этим наукам все заняты, заняты людьми, стоящими на уровне современных знаний, а об этом рассуждается так: "Теперь мы все к естественным наукам в кабалу записались... Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу, это дело темное; такая уже видно наша натура. Но главное дело, чтобы был у нас барин" (стр. 26).

Мы, например, любим музыку Глинки; серьезный, строгий музыкальный вкус развивается в нашей публике; являются композиторы с своеобразными, неподдельными талантами; мы встречаем их с восторгом, и будущность русской музыки нам кажется несомненною. А нам говорят на это: "О, убогие дурачки-варвары, для которых не существует преемственность искусства!" (79). То есть, как же, дескать, вы надеетесь, что у вас будет русская музыка, когда ее еще нет. Забавное рассуждение! Ведь только на то и можно надеяться, чего еще нет. Но она есть, русская музыка! Сам Созонт Иванович говорит, что Глинка чуть было не "основал русской оперы". А что, как в действительности он ее основал, и вы ошибаетесь. С каким вы длинным тогда останетесь носом! Шутка ли -- русская опера!

Вообще, замечания г. Потугина иногда остроумны, но в целом удивительно мелки и поверхностны и доказывают, что русская жизнь может показаться дымом только тому, кто этою жизнью не живет, кто не участвует ни в едином ее интересе. Темна, бедна русская жизнь -- кто говорит! Но от этого русским людям как людям живым бывает трудно и тяжело жить, а не летят они по ветру с легкостию дыма. В самых шатаниях и увлечениях, которые,

по-видимому, хочет казнить г. Тургенев своею повестью, мы очень серьезны, доводим дело до конца, часто дорого-дорого за него платимся и, следовательно, доказываем, что мы живем и хотим жить, а не несемся, куда ветер повеет.

Если же смутно н странно наше умственное и нравственное настроение, если все бродит у нас, как чреватый хаос, то это не значит еще, что все это один дым. Внимательный наблюдатель должен признать, что благодаря нынешнему царствованию действительно вскрылись все язвы, которые мы носили в своем теле, воображая себя вполне здоровыми; мы знаем теперь свои болезни, и еще более: появились некоторые черты, обозначились известные точки, указывающие нам на склад в будущем нашего постепенно обновляющегося нравственного организма. Еще много дыму пускается на эти черты, но они все яснее и яснее проступают из-под него.

Собственно, здесь мы могли бы кончить наш разбор. Мы видели из самой повести, что жизнь русская в ней нимало не казнится, и знаем, что выходки действующих лиц относятся к такому важному перелому и перевороту в этой жизни, что никак не могут представлять собою серьезное суждение о нем. Но положим, что в "Дыме" действительно казнится русская жизнь, как полагает сам автор. Тогда спрашивается, во имя чего же она казнится? Перед каким светлым и определенным идеалом ее явления оказываются мутным дымом, летящим по ветру? В повести есть очень бойкие указания на этот идеал, так что их невозможно оставить без внимания. Возьмем главное, центральное место, которое, по-видимому, должно объяснить все остальные замечания, разъяснения в повести.

Беседуют Потугин и Литвинов, то есть два лица, к которым автор относится совершенно сочувственно, и в беседе своей касаются самых общих вопросов. Потугин весьма жестоко отозвался о славянофилах вообще и о г-же Кохановской в особенности; тогда Литвинов замечает:

"-- После того, что вы сейчас сказали, мне нечего спрашивать, к какой вы принадлежите партии и какого вы мнения о Европе" (стр. 29).

Итак, Потугин принадлежит к некоторой партии, и Литвинов нимало над ним за это не смеется, хотя, по его мнению, русским еще рано иметь политические убеждения или воображать, что мы их имеем (стр. 20). Притом Литвинов так проницателен, что даже вполне угадывает мнение Потугина о Европе. Любопытно! В чем же состоит это мнение?

"Потугин приподнял голову" (очевидно, движение гордости и уверенности).

-- Я удивляюсь ей (Европе) и предан ее началам до чрезвычайности, и нисколько не считаю нужным это скрывать".

Казалось бы, за этою смелою и открытою речью немедленно должно было последовать хотя какое-нибудь указание на предметы, перед которыми преклоняется Потугин. Он должен был бы хоть намекнуть, в чем он удивляется Европе и каким началам он так предан. Коль Европа велика, и чего-чего в ней нет! Какие начала разумеет Потугин? Английское начало самоуправления или французское начало администрации? Свободу печати или систему предостережений? Народность или космополитизм? Социализм или политическую экономию? Уж не начала ли 89 года, на которые любит ссылаться французский император? Что-нибудь и как-нибудь да должен бы был обозначить Потугин.

Ничуть не бывало. Он совершенно довольствуется тем, что сказал. Он начинает хвалиться тем, что смело всем высказывает это свое мнение (какое? желательно бы знать?), и с некоторым азартом так продолжает речь:

"-- Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее (посмотрим!), я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, цивилизации -- да, да, это слово еще лучше, -- и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой любви, другой веры у меня нет и не будет. (Видите, как горячо!) Это слово: ци... ви... ли... зация (Потугин отчетливо, с ударением произнес каждый слог), и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, -- кровью пахнут... Бог с ними!"

Итак, г. Потугин предан той цивилизации, которая противоположна народности, славе и другим словам, пахнущим кровью. Кто поймет подобную складную речь? Народность есть начало, как известно, заправляющее современною историею Европы. Но этому началу г. Потугин не предан. Слава никогда никаким началом не была. Уж не разумеет ли здесь г. Потугин la gloire militaire5 французов, которая действительно пахнет кровью? Если так, то значит, воинственности французов он не сочувствует. Но чему же он сочувствует и чему предан?

Цивилизации, ци-ви-ли-зации.--

Признаемся, это нам невольно напомнило то, как г. Анучкину, любителю французского языка и тонкого обращения, понравилось слово Сицилия (в "Женитьбе" Гоголя). "Сицилия, -- обращается он к Жевакину, -- вот вы говорите Сицилия, как же это Сицилия..."

Да, хорошие бывают слова!

Между тем собеседник Потугина вполне удовлетворяется его словами. Он как будто до тонкости узнал мнения Потугина о Европе и потому, оставляя исчерпанный сюжет, обращает разговор на любезное отечество.

"-- Ну, а Россию, Созонт Иваныч, свою родину, вы любите?

Потугин провел рукой по лицу.

-- Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу".

Прекрасно. Спрашивается, после подобных слов какой вопрос должен быть предложен Созонту Ивановичу? Казалось бы, любопытствующий Литвинов должен был спросить: что же вы в России страстно любите и что вы в ней ненавидите? Какие стороны вы находите светлые и какие темные? Но ничуть не бывало. Можно подумать, что опять Литвинов как будто до тонкости узнал мнения Потугина о России, что он угадал их. Однако нет. "Литвинов пожал плечами.

-- Это старо, Созонт Иваныч, это -- общее место".

Совершенно справедливое замечание. Литвинов ничего не узнал и не мог узнать из такого общего места, что Россия имеет и темные и светлые стороны. Собеседникам, очевидно,

следует пуститься в частности; тогда разговор будет интереснее. Но не тут-то было. Созонт Иванович возражает:

"-- Так что ж такое? Что за беда? Вот чего испугались! Общее место! Я знаю много хороших общих мест". И проч.

На это, конечно, следовало бы отвечать, что никто общих мест не пугается н никто не отрицает их достоинств; но только никто же на общих местах не останавливается и не считает их выражением ясного и определенного мнения о частном вопросе.

Вместо того Литвинов нападает на Потугина с той точки, будто взгляд его устарел.

"-- Байроновщина,-- перебил Литвинов, -- романтизм, тридцатых годов".

На это Потугин победоносно отвечает цитатою из Катулла, которая неопровержимо доказывает, что его общее место есть действительно очень общее место. Затем он начинает горячиться по поводу России точно так, как прежде горячился по поводу Европы.

"-- Да-с,-- говорит он, -- я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вот ее покинул; нужно было проветриться немного после двадцатилетнего сидения за казенным столом, в казенном здании; я покинул Россию, и здесь мне очень приятно и весело; но я скоро назад поеду, я это чувствую. Хороша садовая земля... да не расти на ней морошке!"

Вот и понимайте как знаете! Литвинов, однако, вполне довольствуется этою тирадою, и разговор переходит на другие предметы.

Как не подивиться после этого русским людям! Вот из толпы набитых дураков и беспардонных болтунов выходят двое умных людей. Один из них только что язвительно подсмеялся над своими соотечественниками за то, что у них вечно "возникает вопрос о значении, о будущности России, да в таких общих чертах, от яиц Леды, бездоказательно, безвыходно" (стр. 26). Но о чем же беседуют сами два умника?

-- Какого вы мнения о Европе? -- спрашивает один.

-- Хорошего мнения, -- отвечает другой. -- Только вот не люблю, когда что-нибудь кровью пахнет.

-- А о России?

-- Многое одобряю, но многое н порицаю.

Ну может ли быть еще что-нибудь общее этих общих черт и общих мест?

Приглядитесь еще немножко, и вы увидите, что разговаривающие сами не понимают своего отношения к предметам речи. Что за вопрос: какого вы мнения о Европе? Разве на европейской точке зрения можно быть какого-нибудь, хорошего или дурного, мнения разом о всей Европе, о всех ее государствах, делах и партиях? Вопрос есть нелепость для всякого, кто не считает Европу особым миром, развившимся из особых начал, например, положим из римской цивилизации, и кто не противополагает этому миру некоторого другого мира. Для настоящего европейца Европа есть все, всецелый мир, и он называет и чувствует себя европейцем только перед людьми, которых считает чуждыми настоящей исторической

жизни, перед китайцами, малайцами, неграми. Среди же Европы никто себя европейцем не величает и если питает какие-нибудь мнения о Европе вообще, то эти мнения для него равнозначительны с мнениями о состоянии и развитии человечества вообще.

Точно так никакой настоящий западник не называет себя западником. Слово это придумано славянофилами и означает людей, отрицающих существование у нас народных начал. Но никто не станет определять себя одним отрицанием. Всякий западник назовет себя вам или конституционалистом, или республиканцем, демократом, социалистом и т. д., но никто не назовет себя просто западником. Никто не скажет, что он держится западных начал; всякий скажет, что он держится общечеловеческих начал, и именно таких-то и таких-то.

Итак, о чем же рассуждают умные люди г. Тургенева? Согласно с славянофильскими понятиями, они вообразили, что можно отнестись к Европе, как к особому единому миру, и, согласно с славянофильской терминологией, именуют себя западниками. В смысле славянофилов, какой бы вы западной теории ни держались, вы будете западник, человек, держащийся начал особого европейского мира. Вот почему Потугин вместо всяких мнений твердит только одно: я западник, я европеец!

Вот, следовательно, в чем разгадка; умные люди не столько пылают любовью к цивилизации, сколько нерасположением к славянофильской теории. Они рассуждают о вопросах этой теории, употребляют ее же формулы, но заявляют свое полное несогласие с нею. Своего же за душой у них пока ничего нет.

Приведем еще одно пояснение. Ни один француз, ни один немец, конечно, не задаст своему соотечественнику, такого неопределительного и в сущности ничего не значащего вопроса: какого вы мнения о Европе? Но есть один народ,-- в настоящую минуту, конечно, первый из народов мира, -- в котором встречается нечто подобное нашим русским разговорам. Это англичане. Когда англичанин в первый раз отправляется с своего острова на материк Европы, то по возвращении или среди самого материка он слышит от своих соотечественников вопрос: ну что вы скажете о континенте?

Как вы находите континентальную жизнь, континентальный порядки?

Понятно, на каком взгляде опираются подобные вопросы. Все не английское, все чуждое тех широких, крепких, правильно развитых, ясно сознаваемых начал, которыми проникнута английская жизнь, должно являться англичанину чужим миром, миром, держащимся на каких-то иных началах, следующим в жизни иной, не английской, логике. Тут является такая определенная противоположность, что континент сливается в глазах англичанина в одно целое, все его разнообразие покрывается одним общим колоритом.

Опрашивается теперь, в таком ли смысле Потугин и Литвинов сообщают друг другу свои мнения о Европе. Увы! Оказывается, что перед нами не два образованных европейца, из которых каждый имеет свое определенное мнение, свое profession de foi6, осуществлению которого и посвящает свои мысли и труды; но это также и не два образованных русских, сознающих своеобразие своей народности и размышляющих об отношении ее к иному миру, к Европе. Нет, они всего скорее похожи на каких-нибудь попавших в Европу сиамцев или японцев, которые в каждой стране ее одинаково чувствуют себя не европейцами; это действительно убогие дурачки-варвары, которые столбенеют в тупом и неопределенном удивлении к

зрелищу, раскрывающемуся перед ними, люди, восхищающиеся цивилизациею вообще -- в противоположность варварству, господствующему в их темном отечестве.

Но неужели же мы, русские, находимся в таком положении? Опять заметим, что, только глядя на русскую жизнь со стороны, можно было так поверхностно понять это отношение. В действительности в настоящую минуту ни один русский человек не может стоять в таком отношении к Европе, в какое ставит себя почтенный Созонт Иванович. Потому что ведь скоро будет двести лет, как мы явились в Европу такими точно "варварами-дурачками", и с той поры много воды утекло. С тех пор каких влияний мы не пережили, кому не подражали, кого не передразнивали! Мы и перед гробом Ришелье преклонялись7, и писали "Наказ" в духе энциклопедистов8, мы проникались и началами 89 года9, и началами первой империи10, мы когда-то "Гегеля изучали и знали Гёте наизусть"11, мы были бойцами республики 48 года12 и потом плакали о ее падении как о гибели кровных наших надежд; мы всегда сочувствовали лучшим, избраннейшим умам Европы, но вообще каждому ее крупному явлению мы непременно платили и платим дань; мы платим ее, например, теперь и Наполеону III13, и свободной торговле Англии, и т. д.

И чем дальше, тем шире и глубже этот наплыв, как это и в порядке вещей. Этот ветер веет сильно. И мы все яснее понимаем его действие, потому что переживаем это действие на себе, на своих костях и своей плоти. Мы знаем, что влияние Европы вызывает не одни светлые явления; мы перенесли от него и переносим не только явления жалкие, смешные, пустые и бесплодные, но и мрачные и грустные до высочайшей степени, и, следовательно, мы не можем стоять в таком идиллическом отношении к влиянию Европы, как Созонт Иванович.

Но есть у нас другой ветер, тоже постепенно усиливающийся, но далеко еще не достигший силы для равноправной борьбы с западным ветром. Это -- влияние того, что г. Тургенев некогда остроумно назвал "черноземною силою", веяние духа нашей народности. От времени до времени мы, гнущиеся, как тростник, от западного ветра, обнаруживаем силу упругости, выпрямляемся и даже наклоняемся в другую сторону от ветра, потянувшего с востока. Естественная реакция умов и душ, но главное -- столкновения с Европою, ход событий, неизбежно заставляющий действовать нас, нас, в другое время готовых стереться с лица земли, слететь с нее, подобно дыму, -- дают у нас простор этому ветру. Его действия мы тоже знаем, ибо переносим их на себе, на своей плоти и своих костях, и все яснее различаем темные и светлые явления, им порождаемые.

Эти два ветра не случайны, как видит читатель. Существование именно их, а не каких других ветров, всего лучше показывает, что не дым все русское, что не каприз случая вертит нами. Напротив, кто живет среди борьбы этих направлений, для кого она составляет насущную задачу, радость и горе, для того должны показаться дымом слова и рассуждения, отрицающие серьезность нашей жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые опубликовано: "Отечественные записки", 1867, No 5. Печатается по тексту книги: Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862--1885). Изд. 4-е. Киев, 1901.

1 Инсаров -- герой романа Тургенева "Накануне".

2 "Призраки", "Довольно" -- рассказы И. С. Тургенева, опубликованные соответственно в 1864 и 1865 годах.

3 Страхов неточно цитирует два стиха из библейской "Книги Екклесиаста, или Проповедника" (гл, 2, ст. 22; гл. 1, ст. 9).

4 В связи с именем Глинки Михаила Ивановича (1804--1857), выдающегося русского композитора, герой романа Тургенева Потугин выражает глубоко скептический взгляд на русскую музыку и на русскую культуру вообще (глава XIV).

В конце романа упоминается также русский поэт Глинка Федор Николаевич (1786--1880), который в пору близости к славянофильству написал религиозно-мистическую поэму "Таинственная капля" (1861).

Телушкин Петр Семенович, петербургский кровельщик, прославился тем, что в 1880 году без лесов отремонтировал фигуру ангела на шпиле Петропавловского собора, а в следующем году (также без лесов) работал на верхушке адмиралтейского шпиля. В романе он фигурирует как пример русского удальства и сноровки.

5 La gloire militaire -- военная слава (франц.).

6 Profession de foi -- кредо (франц.).

7 Ришелье -- Арман Жан дю Плесси (1585--1642) -- кардинал, первый министр Людовика XIII, фактический правитель Франции. Впоследствии Ришелье воспринимался в Европе и в России как политический гений, выдающийся деятель абсолютистского государства.

8 В 1767 году был издан "Наказ" для депутатов Комиссии об Уложении, написанный русской императрицей Екатериной II. Более 400 статей этого философско-юридического трактата, ориентированного на идеологию Просвещения, представляли собой переложения и заимствования из сочинений Монтескье, Беккариа и других просветителей.

9 То есть идеями Великой французской революции 1789--1794 гг.

10 Имеются в виду государственно-политические принципы, положенные в основу французской империи, провозглашенной в 1804 году, когда Наполеон Бонапарт стал императором.

11 Неточная цитата из рассказа И. С. Тургенева "Гамлет Щигровского уезда" (1849).

12 То есть сочувствовали февральской буржуазно-демократической революции 1848 года, которая привела во Франции к ликвидации Июльской монархии и установлению Второй республики.

13 Наполеон III -- Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1808--1873) -- французский император (1852--1870). Находясь в изгнании до 1848 года и стремясь к власти, предпринял ряд политических авантюр; в 1848 году добился избрания президентом Франции. В результате контрреволюционного переворота был провозглашен в 1852 году императором, после чего

установил в стране режим жестокой диктатуры. Написал несколько панегирических брошюр о Наполеоне I, которому приписывал радикальные решения Многих социальных проблем. Эти брошюры способствовали распространению в широком общественно-литературном обиходе понятия "бонапартизм".[49]

Н. Г. Чернышевский. Русский человек на rendez-vous

Размышления по прочтении повести г. Тургенева "Ася"

Библиотека отечественной классики

Н. Г. Чернышевский. Собрание сочинений в пяти томах.

Том 3. Литературная критика

Библиотека "Огонек".

М., "Правда", 1974

"Рассказы в деловом, изобличительном роде оставляют в читателе очень тяжелое впечатление; потому я, признавая их пользу и благородство, не совсем доволен, что наша литература приняла исключительно такое мрачное направление".

Так говорят довольно многие из людей, по-видимому, неглупых или, лучше сказать, говорили до той поры, пока крестьянский вопрос не сделался единственным предметом всех мыслей, всех разговоров. Справедливы или несправедливы их слова, не знаю; но мне случилось быть под влиянием таких мыслей, когда начал я читать едва ли не единственную хорошую новую повесть, от которой по первым страницам можно уже было ожидать совершенно иного содержания, иного пафоса, нежели от деловых рассказов. Тут нет ни крючкотворства с насилием и взяточничеством, ни грязных плутов, ни официальных злодеев, объясняющих изящным языком, что они -- благодетели общества, ни мещан, мужиков и маленьких чиновников, мучимых всеми этими ужасными и гадкими людьми. Действие -- за границей, вдали от всей дурной обстановки нашего домашнего быта. Все лица повести -- люди из лучших между нами, очень образованные, чрезвычайно гуманные: проникнутые благороднейшим образом мыслей. Повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных сторон жизни. Вот, думал я, отдохнет и освежится душа. И действительно, освежилась она этими поэтическими идеалами, пока дошел рассказ до решительной минуты. Но последние страницы рассказа не похожи на первые, и по прочтении повести остается от нее впечатление еще более безотрадное, нежели от рассказов о гадких взяточниках с их циническим грабежом. Они делают дурно, но они каждым из нас признаются

[49] Публичная Электронная Библиотека -- товарный знак и знак обслуживания, принадлежащие Евгению Пескину. http://www.online.ru/sp/eel/russian/ E-mail:eugene@eugene.msk.su

за дурных людей; не от них ждем мы улучшения нашей жизни. Есть, думаем мы, в обществе силы, которые положат преграду их вредному влиянию, которые изменят своим благородством характер нашей жизни. Эта иллюзия самым горьким образом отвергается в повести, которая пробуждает своей первой половиной самые светлые ожидания.

Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя все, за что наш век называется веком благородных стремлений. И что же делает этот человек? Он делает сцену, какой устыдился бы последний взяточник. Он чувствует самую сильную и чистую симпатию к девушке, которая любит его; он часа не может прожить, не видя этой девушки; его мысль весь день, всю ночь рисует ему ее прекрасный образ, настало для него, думаете вы, то время любви, когда сердце утопает в блаженстве. Мы видим Ромео, мы видим Джульетту, счастью которых ничто не мешает, и приближается минута, когда навеки решится их судьба,-- для этого Ромео должен только сказать: "Я люблю тебя, любишь ли ты меня?" И Джульетта прошепчет: "Да..." И что же делает наш Ромео (так мы будем называть героя повести, фамилия которого не сообщена нам автором рассказа), явившись на свидание с Джульеттой? С трепетом любви ожидает Джульетта своего Ромео; она должна узнать от него, что он любит ее,-- это слово не было произнесено между ними, оно теперь будет произнесено им, навеки соединятся они; блаженство ждет их, такое высокое и чистое блаженство, энтузиазм которого делает едва выносимой для земного организма торжественную минуту решения. От меньшей радости умирали люди. Она сидит, как испуганная птичка, закрыв лицо от сияния являющегося перед ней солнца любви; быстро дышит она, вся дрожит; она еще трепетнее потупляет глаза, когда входит он, называет ее имя; она хочет взглянуть на него и не может; он берет ее руку,-- эта рука холодна, лежит как мертвая в его руке; она хочет улыбнуться; но бледные губы ее не могут улыбнуться. Она хочет заговорить с ним, и голос ее прерывается. Долго молчат они оба,-- и в нем, как сам он говорит, растаяло сердце, и вот Ромео говорит своей Джульетте... и что же он говорит ей? "Вы передо мною виноваты,-- говорит он ей; -- вы меня запутали в неприятности, я вами недоволен, вы компрометируете меня, и я должен прекратить мои отношения к вам; для меня очень неприятно с вами расставаться, но вы извольте отправляться отсюда подальше". Что это такое? Чем она виновата? Разве тем, что считала его порядочным человеком? Компрометировала его репутацию тем, что пришла на свидание с ним? Это изумительно! Каждая черта в ее бледном лице говорит, что она ждет решения своей судьбы от его слова, что она всю свою душу безвозвратно отдала ему и ожидает теперь только того, чтоб он сказал, что принимает ее душу, ее жизнь, и он ей делает выговоры за то, что она его компрометирует! Что это за нелепая жестокость? Что это за низкая грубость? И этот человек, поступающий так подло, выставлялся благородным до сих пор! Он обманул нас, обманул автора. Да, поэт сделал слишком грубую ошибку, вообразив, что рассказывает нам о человеке порядочном. Этот человек дряннее отъявленного негодяя.

Таково было впечатление, произведенное на многих совершенно неожиданным оборотом отношений нашего Ромео к его Джульетте. От многих мы слышали, что повесть вся испорчена этой возмутительной сценой, что характер главного лица не выдержан, что если этот человек таков, каким представляется в первой половине повести, то не мог поступить он с такой пошлой грубостью, а если мог так поступить, то он с самого начала должен был представиться нам совершенно дрянным человеком.

Очень утешительно было бы думать, что автор в самом деле ошибся, но в том и состоит грустное достоинство его повести, что характер героя верен нашему обществу. Быть может, если бы характер этот был таков, каким желали бы видеть его люди, недовольные грубостью его на свидании, если бы он не побоялся отдать себя любви, им овладевшей, повесть выиграла бы в идеально-поэтическом смысле. За энтузиазмом сцены первого свидания последовало бы несколько других высокопоэтических минут, тихая прелесть первой половины повести возвысилась бы до патетической очаровательности во второй половине, и вместо первого акта из "Ромео и Джульетты" с окончанием во вкусе Печорина мы имели бы нечто действительно похожее на Ромео и Джульетту или по крайней мере на один из романов Жоржа Санда. Кто ищет в повести поэтически-цельного впечатления, действительно должен осудить автора, который, заманив его возвышенно сладкими ожиданиями, вдруг показал ему какую-то пошло-нелепую суетность мелочно-робкого эгоизма в человеке, начавшем вроде Макса Пикколомини и кончившем вроде какого-нибудь Захара Сидорыча, играющего в копеечный преферанс.

Но точно ли ошибся автор в своем герое? Если ошибся, то не в первый раз делает он эту ошибку. Сколько ни было у него рассказов, приводивших к подобному положению, каждый раз его герои выходили из этих положений не иначе, как совершенно сконфузившись перед нами. В "Фаусте" герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней, мечтать о ней -- это его дело, но по части решительности, даже в словах, он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его; речь несколько минут шла уже так, что ему следовало непременно сказать это, но он, видите ли, не догадался и не посмел сказать ей этого; а когда женщина, которая должна принимать объяснение, вынуждена, наконец, сама сделать объяснение, он, видите ли, "замер", но почувствовал, что "блаженство волною пробегает по его сердцу", только, впрочем, "по временам", а собственно говоря, он "совершенно потерял голову" -- жаль только, что не упал в обморок, да и то было бы, если бы не попалось кстати дерево, к которому можно было прислониться. Едва успел оправиться человек подходит к нему женщина, которую он любит, которая высказала ему свою любовь, и спрашивает, что он теперь намерен делать? Он... он "смутился". Не удивительно, что после такого поведения любимого человека (иначе, как "поведением", нельзя назвать образ поступков этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка; еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в "Фаусте"; почти то же и в "Рудине". Рудин вначале держит себя несколько приличнее для мужчины, нежели прежние герои: он так решителен, что сам говорит Наталье о своей любви (хоть говорит не по доброй воле, а потому, что вынужден к этому разговору); он сам просит у ней свидания. Но когда Наталья на этом свидании говорит ему, что выйдет за него, с согласия и без согласия матери все равно, лишь бы он только любил ее, когда произносит слова: "Знайте же, я буду ваша", Рудин только и находит в ответ восклицание: "О боже!" -- восклицание больше конфузное, чем восторженное,-- а потом действует так хорошо, то есть до такой степени труслив и вял, что Наталья принуждена сама пригласить его на свидание для решения, что же им делать. Получивши записку, "он видел, что развязка приближается, и втайне смущался духом". Наталья говорит, что мать объявила ей, что скорее согласится видеть дочь мертвой, чем женой Рудина, и вновь спрашивает Рудина, что он теперь намерен делать. Рудин отвечает по-прежнему "боже мой, боже мой" и прибавляет еще наивнее: "так скоро! что я намерен делать? у меня голова кругом идет, я ничего сообразить не могу". Но потом соображает, что следует "покориться". Названный трусом, он начинает упрекать Наталью, потом читать ей лекцию о своей честности и на замечание, что не это должна она

услышать теперь от него, отвечает, что он не ожидал такой решительности. Дело кончается тем, что оскорбленная девушка отворачивается от него, едва ли не стыдясь своей любви к трусу.

Но, может быть, эта жалкая черта в характере героев -- особенность повестей г. Тургенева? Быть может, характер именно его таланта склоняет его к изображению подобных лиц? Вовсе нет; характер таланта, нам кажется, тут ничего не значит. Вспомните любой хороший, верный жизни рассказ какого угодно из нынешних наших поэтов, и если в рассказе есть идеальная сторона, будьте уверены, что представитель этой идеальной стороны поступает точно так же, как лица г. Тургенева. Например, характер таланта г. Некрасова вовсе не таков, как г. Тургенева; какие угодно недостатки можете находить в нем, но никто не скажет, чтобы недоставало в таланте г. Некрасова энергии и твердости. Что же делает герой в его поэме "Саша"? Натолковал он Саше, что, говорит, "не следует слабеть душою", потому что "солнышко правды взойдет над землею" и что надобно действовать для осуществления своих стремлений, а потом, когда Саша принимается за дело, он говорит, что все это напрасно и ни к чему не поведет, что он "болтал пустое". Припомним, как поступает Бельтов: и он точно так же предпочитает всякому решительному шагу отступление. Подобных примеров набрать можно было бы очень много. Повсюду, каков бы ни был характер поэта, каковы бы ни были его личные понятия о поступках своего героя, герой действует одинаково со всеми другими порядочными людьми, подобно ему выведенными у других поэтов: пока о деле нет речи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желания,-- большая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и косноязычно выразить что-то, дающее смутное понятие о их мыслях; но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: "Вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим",-- при такой реплике одна половина храбрейших геров падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что "как же можно так скоро", и "притом же они -- честные люди", и не только честные, но очень смирные и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего -- ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они "никак не ждали и не ожидали" и проч.

Таковы-то наши "лучшие люди" -- все они похожи на нашего Ромео. Много ли беды для Аси в том, что г. N. никак не знал, что ему с ней делать, и решительно прогневался, когда от него потребовалась отважная решимость; много ли беды в этом для Аси, мы не знаем. Первою мыслью приходит, что беды от этого ей очень мало; напротив, и слава богу, что дрянное бессилие характера в нашем Ромео оттолкнуло от него девушку еще тогда, когда не было поздно. Ася погрустит несколько недель, несколько месяцев и забудет все и может отдаться новому чувству, предмет которого будет более достоин ее. Так, но в том-то и беда, что едва ли встретится ей человек более достойный; в том и состоит грустный комизм отношений нашего Ромео к Асе, что наш Ромео -- действительно один из лучших людей нашего общества, что лучше его почти и не бывает людей у нас. Только тогда будет довольна Ася своими отношениями к людям, когда, подобно другим, станет ограничиваться прекрасными

рассуждениями, пока не представляется случая приняться за исполнение речей, а чуть представится случай, прикусит язычок и сложит руки, как делают все. Только тогда и будут ею довольны; а теперь сначала, конечно, всякий скажет, что эта девушка очень милая, с благородной душой, с удивительной силой характера, вообще девушка, которую нельзя не полюбить, перед которой нельзя не благоговеть; но все это будет говориться лишь до той поры, пока характер Аси выказывается одними словами, пока только предполагается, что она способна на благородный и решительный поступок; а едва сделает она шаг, сколько-нибудь оправдывающий ожидания, внушаемые ее характером, тотчас сотни голосов закричат: "Помилуйте, как это можно, ведь это безумие! Назначать rendez-vous молодому человеку! Ведь она губит себя, губит совершенно бесполезно! Ведь из этого ничего не может выйти, решительно ничего, кроме того, что она потеряет свою репутацию. Можно ли так безумно рисковать собою?" "Рисковать собою? это бы еще ничего,-- прибавляют другие.-- Пусть она делала бы с собой, что хочет, но к чему подвергать неприятностям других? В какое положение поставила она этого бедного молодого человека? Разве он думал, что она захочет повести его так далеко? Что теперь ему делать при ее безрассудстве? Если он пойдет за ней, он погубит себя; если он откажется, его назовут трусом и сам он будет презирать себя. Я не знаю, благородно ли ставить в подобные неприятные положения людей, не подавших, кажется, никакого особенного повода к таким несообразным поступкам. Нет, это не совсем благородно. А бедный брат? Какова его роль? Какую горькую пилюлю поднесла ему сестра? Целую жизнь ему не переварить этой пилюли. Нечего сказать, одолжила милая сестрица! Я не спорю, все это очень хорошо на словах,-- и благородные стремления, и самопожертвование, и бог знает какие прекрасные вещи, но я скажу одно: я бы не желал быть братом Аси. Скажу более: если б я был на месте ее брата, я запер бы ее на полгода в ее комнате. Для ее собственной пользы надо запереть ее. Она, видите ли, изволит увлекаться высокими чувствами; но каково расхлебывать другим то, что она изволила наварить? Нет, я не назову ее поступок, не назову ее характер благородным, потому что я не называю благородными тех, которые легкомысленно и дерзко вредят другим". Так пояснится общий крик рассуждениями рассудительных людей. Нам отчасти совестно признаться, но все-таки приходится признаться, что эти рассуждения кажутся нам основательными. В самом деле, Ася вредит не только себе, но и всем, имевшим несчастие по родству или по случаю быть близкими к ней; а тех, которые для собственного удовольствия вредят всем близким своим, мы не можем не осуждать.

Осуждая Асю, мы оправдываем нашего Ромео. В самом деле, чем он виноват? разве он подал ей повод действовать безрассудно? разве он подстрекал ее к поступку, которого нельзя одобрить? разве он не имел права сказать ей, что напрасно она запутала его в неприятные отношения? Вы возмущаетесь тем, что его слова суровы, называете их грубыми. Но правда всегда бывает сурова, и кто осудит меня, если вырвется у меня даже грубое слово, когда меня, ни в чем не виноватого, запутают в неприятное дело; да еще пристают ко мне, чтоб я радовался беде, в которую меня втянули?

Я знаю, отчего вы так несправедливо восхитились было неблагородным поступком Аси и осудили было нашего Ромео. Я знаю это потому, что сам на минуту поддался неосновательному впечатлению, сохранившемуся в вас. Вы начитали о том, как поступали и поступают люди в других странах. Но сообразите, что ведь то другие страны. Мало ли что делается на свете в других местах, но ведь не всегда и не везде возможно то, что очень удобно при известной обстановке. В Англии, например, в разговорном языке не существует слова "ты": фабрикант своему работнику, землевладелец нанятому им землекопу, господин

своему лакею говорит непременно "вы" и, где случится, вставляют в разговоре с ними sir, то есть все равно, что французское monsieur, а по-русски и слова такого нет, а выходит учтивость в том роде, как если бы барин своему мужику говорил: "Вы, Сидор Карпыч, сделайте одолжение зайдите ко мне на чашку чая, а потом поправьте дорожки у меня в саду". Осудите ли вы меня, если я говорю с Сидором без таких субтильностей? Ведь я был бы смешон, если бы принял язык англичанина. Вообще, как скоро вы начинаете осуждать то, что не нравится вам, вы становитесь идеологом, то есть самым забавным и, сказать вам на ушко, самым опасным человеком на свете, теряете из-под ваших ног твердую опору практичной действительности. Опасайтесь этого, старайтесь сделаться человеком практическим в своих мнениях и на первый раз постарайтесь примириться хоть с нашим Ромео, кстати уж зашла о нем речь. Я вам готов рассказать путь, которым я дошел до этого результата не только относительно сцены с Асей, но и относительно всего в мире, то есть стал доволен всем, что ни вижу около себя, ни на что не сержусь, ничем не огорчаюсь (кроме неудач в делах, лично для меня выгодных), ничего и никого в мире не осуждаю (кроме людей, нарушающих мои личные выгоды), ничего не желаю (кроме собственной пользы),-- словом сказать, я расскажу вам, как я сделался из желчного меланхолика человеком до того практическим и благонамеренным, что даже не удивлюсь, если получу награду за свою благонамеренность.

К начал с того замечания, что не следует порицать людей ни за что и ни в чем, потому что, сколько я видел, в самом умном человеке есть своя доля ограниченности, достаточная для того, чтобы он в своем образе мыслей не мог далеко уйти от общества, в котором он воспитался и живет, и в самом энергическом человеке есть своя доза апатии, достаточная для того, чтобы он в своих поступках не удалялся много от рутины и, как говорится, плыл по течению реки, куда несет вода. В среднем кругу принято красить яйца к пасхе, на масленице есть блины,-- и все так делают, хотя иной крашеных яиц вовсе не ест, а на тяжесть блинов почти каждый жалуется. Так не в одних пустяках, и во всем так. Принято, например, что мальчиков следует держать свободнее, нежели девочек, и каждый отец, каждая мать, как бы ни были убеждены в неразумности такого различия, воспитывают детей по этому правилу. Принято, что богатство -- вещь хорошая, и каждый бывает доволен, если вместо десяти тысяч рублей в год начнет получать благодаря счастливому обороту дел двадцать тысяч, хотя, здраво рассуждая, каждый умный человек знает, что те вещи, которые, будучи недоступны при первом доходе, становятся доступны при втором, не могут приносить никакого существенного удовольствия. Например, если с десятью тысячами дохода можно сделать бал в 500 рублей, то с двадцатью можно сделать бал в 1 000 рублей: последний будет несколько лучше первого, но все-таки особенного великолепия в нем не будет, его назовут не более как довольно порядочным балом, а порядочным балом будет и первый. Таким образом даже чувство тщеславия при 20 тысячах дохода удовлетворяется очень немногим более того, как при 10 тысячах; что же касается до удовольствий, которые можно назвать положительными, в них разница совсем незаметна. Лично для себя человек с 10 тысячами дохода имеет точно такой же стол, точно такое же вино и кресло того же ряда в опере, как и человек с двадцатью тысячами. Первый называется человеком довольно богатым, и второй точно так же не считается чрезвычайным богачом -- существенной разницы в их положении нет; и, однако же, каждый по рутине, принятой в обществе, будет радоваться при увеличении своих доходов с 10 на 20 тысяч, хотя фактически не будет замечать почти никакого увеличения в своих удовольствиях. Люди -- вообще страшные рутинеры: стоит только всмотреться поглубже в их мысли, чтоб открыть это. Иной господин чрезвычайно озадачит вас на первый раз независимостью своего образа мыслей от общества, к которому

принадлежит, покажется вам, например, космополитом, человеком без сословных предубеждений и т. п., и сам, подобно своим знакомым, воображает себя таким от чистой души. Но наблюдайте точнее за космополитом, и он окажется французом или русским со всеми особенностями понятий и привычек, принадлежащими той нации, к которой причисляется по своему паспорту, окажется помещиком или чиновником, купцом или профессором со всеми оттенками образа мыслей, принадлежащими его сословию. Я уверен, что многочисленность людей, имеющих привычку друг на друга сердиться, друг друга обвинять, зависит единственно от того, что слишком немногие занимаются наблюдениями подобного рода; а попробуйте только начать всматриваться в людей с целью проверки, действительно ли отличается чем-нибудь важным от других людей одного с ним положения тот или другой человек, кажущийся на первый раз непохожим на других, попробуйте только заняться такими наблюдениями, и этот анализ так завлечет вас, так заинтересует ваш ум, будет постоянно доставлять такие успокоительные впечатления вашему духу, что вы не отстанете от него уже никогда и очень скоро придете к выводу: "Каждый человек -- как все люди, в каждом -- точно то же, что и в других". И чем дальше, тем тверже вы станете убеждаться в этой аксиоме. Различия только потому кажутся важны, что лежат на поверхности и бросаются в глаза, а под видимым, кажущимся различием скрывается совершенное тождество. Да и с какой стати в самом деле человек был бы противоречием всем законам природы? Ведь в природе кедр и иссоп питаются и цветут, слон и мышь движутся и едят, радуются и сердятся по одним и тем же законам; под внешним различием форм лежит внутреннее тождество организма обезьяны и кита, орла и курицы; стоит только вникнуть в дело еще внимательнее, и увидим, что не только различные существа одного класса, но и различные классы существ устроены и живут по одним и тем же началам, что организмы млекопитающего, птицы и рыбы одинаковы, что и червяк дышит подобно млекопитающему, хотя нет у него ни ноздрей, ни дыхательного горла, ни легких. Не только аналогия с другими существами нарушалась бы непризнанием одинаковости основных правил и пружин в нравственной жизни каждого человека,-- нарушалась бы и аналогия с его физической жизнью. Из двух здоровых людей одинаковых лет в одинаковом расположении духа у одного пульс бьется, конечно, несколько сильнее и чаще, нежели у другого; но велико ли это различие? Оно так ничтожно, что наука даже не обращает на него внимания. Другое дело, когда вы сравните людей разных лет или в разных обстоятельствах; у дитяти пульс бьется вдвое скорее, нежели у старика, у больного гораздо чаще или реже, нежели у здорового, у того, кто выпил стакан шампанского, чаще, нежели у того, кто выпил стакан воды. Но и тут понятно всякому, что разница -- не в устройстве организма, а в обстоятельствах, при которых наблюдается организм. И у старика, когда он был ребенком, пульс бился так же часто, как у ребенка, с которым вы его сравниваете; и у здорового ослабел бы пульс, как у больного, если бы он занемог той же болезнью; и у Петра, если б он выпил стакан шампанского, точно так же усилилось бы биение пульса, как у Ивана.

Вы почти достигли границ человеческой мудрости, когда утвердились в этой простой истине, что каждый человек -- такой же человек, как и все другие. Не говорю уже об отрадных следствиях этого убеждения для вашего житейского счастья; вы перестанете сердиться и огорчаться, перестанете негодовать и обвинять, будете кротко смотреть на то, за что прежде готовы были браниться и драться; в самом деле, каким образом стали бы вы сердиться или жаловаться на человека за такой поступок, какой каждым был бы сделан на его месте? В вашу душу поселяется ничем не возмутимая кроткая тишина, сладостнее которой может быть только браминское созерцание кончика носа, с тихим неумолчным повторением

слов "ом-мани-падмехум". Я не говорю уже об этой неоцененной душевно-практической выгоде, не говорю даже и о том, сколько денежных выгод доставит вам мудрая снисходительность к людям: вы совершенно радушно будете встречать негодяя, которого прогнали бы от себя прежде; а этот негодяй, быть может, человек с весом в обществе, и хорошими отношениями с ним поправятся ваши собственные дела. Не говорю и о том, что вы сами тогда менее будете стесняться ложными сомнениями совестливости в пользовании теми выгодами, какие будут подвертываться вам под руку: к чему будет вам стесняться излишней щекотливостью, если вы убеждены, что каждый поступил бы на вашем месте точно так же, как и вы? Всех этих выгод я не выставляю на вид, имея целью указать только чисто научную, теоретическую важность убеждения в одинаковости человеческой натуры во всех людях. Если все люди существенно одинаковы, то откуда же возникает разница в их поступках? Стремясь к достижению главной истины, мы уже нашли мимоходом и тот вывод из нее, который служит ответом на этот вопрос. Для нас теперь ясно, что все зависит от общественных привычек и от обстрятельств, то есть в окончательном результате все зависит исключительно от обстоятельств, потому что и общественные привычки произошли в свою очередь также из обстоятельств. Вы вините человека,-- всмотритесь прежде, он ли в том виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его. Рассуждая о других, мы слишком склонны всякую беду считать виною,-- в этом истинная беда для практической жизни, потому что вина и беда -- вещи совершенно различные и требуют обращения с собою одна вовсе не такого, как другая. Вина вызывает порицание или даже наказание против лица. Беда требует помощи лицу через устранение обстоятельств более сильных, нежели его воля. Я знал одного портного, который раскаленным утюгом тыкал в зубы своим ученикам. Его, пожалуй, можно назвать виноватым, можно и наказать его; но зато не каждый портной тычет горячим утюгом в зубы, примеры такого неистовства очень редки. Но почти каждому мастеровому случается, выпивши в праздник, подраться -- это уж не вина, а просто беда. Тут нужно не наказание отдельного лица, а изменение в условиях быта для целого сословия. Тем грустнее вредное смешивание вины и беды, что различать эти две вещи очень легко; один признак различия мы уже видели: вина -- это редкость, это исключение из правила; беда -- это эпидемия. Умышленный поджог -- это вина; зато из миллионов людей находится один, который решается на это дело. Есть другой признак, нужный для дополнения к первому. Беда обрушивается на том самом человеке, который исполняет условие, ведущее к беде; вина обрушивается на других, принося виноватому пользу. Этот последний признак чрезвычайно точен. Разбойник зарезал человека, чтобы ограбить его, и находит в том пользу себе,-- это вина. Неосторожный охотник нечаянно ранил человека и сам первый мучится несчастием, которое сделал,-- это уж не вина, а просто беда.

Признак верен, но если принять его с некоторой проницательностью, с внимательным разбором фактов, то окажется, что вины почти никогда не бывает на свете, а бывает только беда. Сейчас мы упомянули о разбойнике. Сладко ли ему жить? Если бы не особенные, очень тяжелые для него обстоятельства, взялся ли бы он за свое ремесло? Где вы найдете человека, которому приятнее было бы и в мороз и в непогоду прятаться в берлогах и шататься по пустыням, часто терпеть голод и постоянно дрожать за свою спину, ожидающую плети,-- которому это было бы приятнее, нежели комфортабельно курить ситару в спокойных креслах или играть в ералаш в Английском клубе, как делают порядочные люди?

Нашему Ромео также было бы гораздо приятнее наслаждаться взаимными приятностями счастливой любви, нежели остаться в дураках и жестоко бранить себя за пошлую грубость с Асей. Из того, что жестокая неприятность, которой подвергается Ася, приносит ему самому не пользу или удовольствие, а стыд перед самим собой, то есть самое мучительное из всех нравственных огорчений, мы видим, что он попал не в вину, а в беду. Пошлость, которую он сделал, была бы сделана очень многими другими, так называемыми порядочными людьми или лучшими людьми нашего общества; стало быть, это не иное что, как симптом эпидемической болезни, укоренившейся в нашем обществе.

Симптом болезни не есть самая болезнь. И если бы дело состояло только в том, что некоторые или, лучше сказать, почти все "лучшие" люди обижают девушку, когда в ней больше благородства или меньше опытности, нежели в них,-- это дело, признаемся, мало интересовало бы нас. Бог с ними, с эротическими вопросами,-- не до них читателю нашего времени, занятому вопросами об административных и судебных улучшениях, о финансовых преобразованиях, об освобождении крестьян. Но сцена, сделанная нашим Ромео Асе, как мы заметили,-- только симптом болезни, которая точно таким же пошлым образом портит все наши дела, и только нужно нам всмотреться, отчего попал в беду наш Ромео, мы увидим, чего нам всем, похожим на него, ожидать от себя и ожидать для себя и во всех других делах.

Начнем с того, что бедный молодой человек совершенно не понимает того дела, участие в котором принимает. Дело ясно, но он одержим таким тупоумием, которого не в силах образумить очевиднейшие факты. Чему уподобить такое слепое тупоумие, мы решительно не знаем. Девушка, не способная ни к какому притворству, не знающая никакой хитрости, говорит ему: "Сама не знаю, что со мной делается. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка". Кажется, ясно, какое чувство пробудилось в ней. Через две минуты она с волнением, отражающимся даже бледностью на ее лице, спрашивает, нравилась ли ему та дама, о которой, как-то шутя, упомянуто было в разговоре много дней тому назад; потом спрашивает, что ему нравится в женщине; когда он замечает, как хорошо сияющее небо, она говорит: "Да, хорошо! Если б мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели!.. Так бы и утонули в этой синеве... но мы не птицы".-- "А крылья могут у нас вырасти", возразил я.-- "Как так?" -- "Поживете -- узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья".-- "А у вас были?" -- "Как вам сказать?., кажется, до сих пор я еще не летал". На другой день, когда он вошел, Ася покраснела; хотела было убежать из комнаты; была грустна и наконец, припоминая вчерашний разговор, сказала ему: "Помните, вы вчера говорили о крыльях? Крылья у меня выросли".

Слова эти были так ясны, что даже недогадливый Ромео, возвращаясь домой, не мог не дойти до мысли: неужели она меня любит? С этой мыслью заснул и, проснувшись на другое утро, спрашивал себя: "неужели она меня любит?"

В самом деле, трудно было не понять этого, и, однако ж, он не понял. Понимал ли он по крайней мере то, что делалось в его собственном сердце? И тут приметы были не менее ясны. После первых же двух встреч с Асей он чувствует ревность при виде ее нежного обращения с братом и от ревности не хочет верить, что Гагин -- действительно брат ей. Ревность в нем так сильна, что он не может видеть Асю, но не мог бы и удержаться от того, чтобы видеть ее, потому он, будто 18-летний юноша, убегает от деревеньки, в которой живет она,

несколько дней скитается по окрестным полям. Убедившись наконец, что Ася в самом деле только сестра Гагину, он счастлив, как ребенок, и, возвращаясь от них, чувствует даже, что "слезы закипают у него на глазах от восторга", чувствует вместе с тем, что этот восторг весь сосредоточивается на мысли об Асе, и, наконец, доходит до того, что не может ни о чем думать, кроме нее. Кажется, человек, любивший несколько раз, должен был бы понимать, какое чувство высказывается в нем самом этими признаками. Кажется, человек, хорошо знавший женщин, мог бы понимать, что делается в сердце Аси. Но когда она пишет ему, что любит его, эта записка совершенно изумляет его: он, видите ли, никак этого не предугадывал. Прекрасно; но как бы то ни было, предугадывал он или не предугадывал, что Ася любит его, все равно: теперь ему известно положительно: Ася любит его, он теперь видит это; ну, что же он чувствует к Асе? Решительно сам он не знает, как ему отвечать на этот вопрос. Бедняжка! на тридцатом году ему по молодости лет нужно было бы иметь дядьку, который говорил бы ему, когда следует утереть носик, когда нужно ложиться почивать и сколько чашек чайку надобно ему кушать. При виде такой нелепой неспособности понимать вещи вам может казаться, что перед вами или дитя, или идиот. Ни то, ни другое. Наш Ромео человек очень умный, имеющий, как мы заметили, под тридцать лет, очень много испытавший в жизни, богатый запасом наблюдений над самим собой и другими. Откуда же его невероятная недогадливость? В ней виноваты два обстоятельства, из которых, впрочем, одно проистекает из другого, так что все сводится к одному. Он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык. Это первое. Второе: он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всем. Он похож на человека, который всю жизнь играл в ералаш по половине копейки серебром; посадите этого искусного игрока за партию, в которой выигрыш или проигрыш не гривны, а тысячи рублей, и вы увидите, что он совершенно переконфузится, что пропадет вся его опытность, спутается все его искусство,-- он будет делать самые нелепые ходы, быть может, не сумеет и карт держать в руках. Он похож на моряка, который всю свою жизнь делал рейсы из Кронштадта в Петербург и очень ловко умел проводить свой маленький пароход по указанию вех между бесчисленными мелями в полупресной воде; что, если вдруг этот опытный пловец по стакану воды увидит себя в океане?

Боже мой! За что мы так сурово анализируем нашего героя? Чем он хуже других? Чем он хуже нас всех? Когда мы входим в общество, мы видим вокруг себя людей в форменных и неформенных сюртуках или фраках; эти люди имеют пять с половиной или шесть, а иные и больше футов роста; они отращивают или бреют волосы на щеках, верхней губе и бороде; и мы воображаем, что мы видим перед собой мужчин, это -- совершенное заблуждение, оптический обман, галлюцинация -- не больше. Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиной он не становится или по крайней мере не становится мужчиной благородного характера. Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них. Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие предметом общую пользу, то есть исключены гражданские мотивы, что останется наблюдать мне? в чем остается участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными узенькими заботами о своем кармане, о своем брюшке или о своих забавах. Если я

стану наблюдать людей в том виде, как они представляются мне при отдалении от них участия в гражданской деятельности, какое понятие о людях и жизни образуется во мне? Когда-то любили у нас Гофмана, и была когда-то переведена его повесть о том, как по странному случаю глаза господина Перигринуса Тисса получили силу микроскопа, и о том, каковы были для его понятий о людях результаты этого качества его глаз. Красота, благородство, добродетель, любовь, дружба, все прекрасное и великое исчезло для него из мира. На кого ни взглянет он, каждый мужчина представляется ему подлым трусом или коварным интриганом, каждая женщина -- кокеткою, все люди -- лжецами и эгоистами, мелочными и низкими до последней степени. Эта страшная повесть могла создаваться только в голове человека, насмотревшегося на то, что называется в Германии Kleinstadterei {Захолустье (нем.).}, насмотревшегося на жизнь людей, лишенных всякого участия в общественных делах, ограниченных тесно размеренным кружком своих частных интересов, потерявших всякую мысль о чем-нибудь высшем копеечного преферанса (которого, впрочем, еще не было известно во времена Гофмана). Припомните, чем становится разговор в каком бы то ни было обществе, как скоро речь перестает итти об общественных делах? Как бы ни были умны и благородны собеседники, если они не говорят о делах общественного интереса, они начинают сплетничать или пустословить; злоязычная пошлость или беспутная пошлость, в том и другом случае бессмысленная пошлость -- вот характер, неизбежно принимаемый беседой, удаляющейся от общественных интересов. По характеру беседы можно судить о беседующих. Если даже высшие по развитию своих понятий люди впадают в пустую и грязную пошлость, когда их мысль уклоняется от общественных интересов, то легко сообразить, каково должно быть общество, живущее в совершенном отчуждении от этих интересов. Представьте же себе человека, который воспитался жизнью в таком обществе: каковы будут выводы из его опытов? каковы результаты его наблюдений над людьми? Все пошлое и мелочное он понимает превосходно, но, кроме этого, не понимает ничего, потому что ничего не видел и не испытал. Он мог бог знает каких прекрасных вещей начитаться в книгах, он может находить удовольствие в размышлениях об этих прекрасных вещах; быть может, он даже верит тому, что они существуют или должны существовать и на земле, а не в одних книгах. Но как вы хотите, чтоб он понял и угадал их, когда они вдруг встретятся его неприготовленному взгляду, опытному только в классификации вздора и пошлости? Как вы хотите, чтобы я, которому под именем шампанского подавали вино, никогда и не видавшее виноградников Шампани, но, впрочем, очень хорошее шипучее вино, как вы хотите, чтоб я, когда мне вдруг подадут действительно шампанское вино, мог сказать наверное: да, это действительно уже не подделка? Если я скажу это, я буду фат. Мой вкус чувствует только, что это вино хорошо, но мало ли я пил хорошего поддельного вина? Почему я знаю, что и на этот раз мне поднесли не поддельное вини? Нет, нет, в подделках я знаток, умею отличить хорошую от дурной; но неподдельного вина оценить я не могу.

Счастливы мы были бы, благородны мы были бы, если бы только неприготовленность взгляда, неопытность мысли мешала нам угадывать и ценить высокое и великое, когда оно попадется нам в жизни. Но нет, и наша воля участвует в этом грубом непонимании. Не одни понятия сузились во мне от пошлой ограниченности, в суете которой я живу; этот характер перешел и в мою волю: какова широта взгляда, такова широта и решений; и, кроме того, невозможно не привыкнуть, наконец поступать так, как поступают все. Заразительность смеха, заразительность зевоты не исключительные случаи в общественной физиологии,-- та же заразительность принадлежит всем явлениям, обнаруживающимся в массах. Есть чья-то басня о том, как какой-то здоровый человек попал в царство хромых и кривых. Басня говорит,

будто бы все на него напали, зачем у него оба глаза и обе ноги целы; басня солгала, потому что не договорила все: на пришельца напали только сначала, а когда он обжился на новом месте, он сам прищурил один глаз и стал прихрамывать; ему казалось уже, что так удобнее или по крайней мере приличнее смотреть и ходить, и скоро он даже забыл, что, собственно говоря, он не хром и не крив. Если вы охотник до грустных эффектов, можете прибавить, что когда, наконец, пришла нашему заезжему надобность пойти твердым шагом и зорко смотреть обоими глазами, уже не мог этого он сделать: оказалось, что закрытый глаз уже не открывался, искривленная нога уже не распрямлялась; от долгого принуждения нервы и мускулы бедных искаженных суставов утратили силу действовать правильным образом.

Прикасающийся к смоле зачернится -- в наказание себе, если прикасался добровольно, на беду себе, если не добровольно. Нельзя не пропитаться пьяным запахом тому, кто живет в кабаке, хотя бы сам он не выпил ни одной рюмки; нельзя не проникнуться мелочностью воли тому, кто живет в обществе, не имеющем никаких стремлений, кроме мелких житейских расчетов. Невольно вкрадывается в сердце робость от мысли, что вот, может быть, придется мне принять высокое решение, смело сделать отважный шаг не по пробитой тропинке ежедневного моциона. Потому-то стараешься уверять себя, что нет, не пришла еще надобность ни в чем таком необыкновенном, до последней роковой минуты, нарочно убеждаешь себя, что все кажущееся выходящим из привычной мелочности не более как обольщение. Ребенок, который боится буки, зажмуривает глаза и кричит как можно громче, что буки нет, что бука вздор,-- этим, видите ли, он ободряет себя. Мы так умны, что стараемся уверить себя, будто все, чего трусим мы, трусим единственно от того, что нет в нас силы ни на что высокое,-- стараемся уверить себя, что все это вздор, что нас только пугают этим, как ребенка букой, а в сущности ничего такого нет и не будет.

А если будет? Ну, тогда выйдет с нами то же, что в повести г. Тургенева с нашим Ромео. Он тоже ничего не предвидел и не хотел предвидеть; он также зажмуривал себе глаза и пятился, а прошло время -- пришлось ему кусать локти, да уж не достанешь.

И как непродолжительно было время, в которое решалась и его судьба, и судьба Аси,-- всего только несколько минут, а от них зависела целая жизнь, и, пропустив их, уже ничем нельзя было исправить ошибку. Едва он вошел в комнату, едва успел произнесть несколько необдуманных, почти бессознательных безрассудных слов, и уже все было решено: разрыв навеки, и нет возврата. Мы нимало не жалеем об Асе; тяжело было ей слышать суровые слова отказа, но, вероятно, к лучшему для нее было, что довел ее до разрыва безрассудный человек. Если б она осталась связана с ним, для него, конечно, было бы то великим счастьем; но мы не думаем, чтоб ей было хорошо жить в близких отношениях к такому господину. Кто сочувствует Асе, тот должен радоваться тяжелой, возмутительной сцене. Сочувствующий Асе совершенно прав: он избрал предметом своих симпатий существо зависимое, существо оскорбляемое. Но хотя и со стыдом, должны мы признаться, что принимаем участие в судьбе нашего героя. Мы не имеем чести быть его родственниками; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких. Но мы не можем еще оторваться от предубеждений, набившихся в нашу голову из ложных книг и уроков, которыми воспитана и загублена была наша молодость, не можем оторваться от мелочных понятий, внушенных нам окружающим обществом; нам все кажется (пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта), будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он представитель нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто бы без него было бы нам хуже. Все сильней и сильней развивается в нас мысль, что это мнение о нем -- пустая

мечта, мы чувствуем, что не долго уже останется нам находиться под ее влиянием; что есть люди лучше его, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше жить, но в настоящую минуту мы все еще недостаточно свыклись с этой мыслью, не совсем оторвались от мечты, на которой воспитаны; потому мы все еще желаем добра нашему герою и его собратам. Находя, что приближается в действительности для них решительная минута, которой определится на веки их судьба, мы все еще не хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе великодушно,-- только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях и привычках, будут уметь действовать как честные и благоразумные граждане, а сами они теперь не пригодны к роли, которая дается им; мы не хотим еще обратить на них слова пророка: "Будут видеть они и не увидят, будут слышать и не услышат, потому что загрубел смысл в этих людях, и оглохли их уши и закрыли они свои глаза, чтоб не видеть",-- нет, мы все еще хотим полагать их способными к пониманию совершающегося вокруг них и над ними, хотим думать, что они способны последовать мудрому увещанию голоса, желавшего спасти их, и потому мы хотим дать им указание, как им избавиться от бед, неизбежных для людей, не умеющих вовремя сообразить своего положения и воспользоваться выгодами, которые представляет мимолетный час. Против желания нашего ослабевает в нас с каждым днем надежда на проницательность и энергию людей, которых мы упрашиваем понять важность настоящих обстоятельств и действовать сообразно здравому смыслу, но пусть по крайней мере не говорят они, что не слышали благоразумных советов, что не было им объясняемо их положение.

Между вами, господа (обратимся мы с речью к этим достопочтенным людям), есть довольно много людей грамотных; они знают, как изображалось счастье по древней мифологии: оно представлялось как женщина с длинной косой, развеваемой впереди ее ветром, несущим эту женщину; легко поймать ее, пока она подлетает к вам, но пропустите один миг -- она пролетит, и напрасно погнались бы вы ловить ее: нельзя схватить ее, оставшись позади. Невозвратен счастливый миг. Не дождаться вам будет, пока повторится благоприятное сочетание обстоятельств, как не повторится то соединение небесных светил, которое совпадает с настоящим часом. Не пропустить благоприятную минуту -- вот высочайшее условие житейского благоразумия. Счастливые обстоятельства бывают для каждого из нас, но не каждый умеет ими пользоваться, и в этом искусстве почти единственно состоит различие между людьми, жизнь которых устраивается хорошо или дурно. И для вас, хотя, быть может, и не были вы достойны того, обстоятельства сложились счастливо, так счастливо, что единственно от вашей воли зависит ваша судьба в решительный миг. Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в которое вы поставлены теперь,-- вот в чем для вас вопрос о счастии или несчастии навеки.

В чем же способы и правила для того, чтоб не упустить счастья, предлагаемого обстоятельствами? Как в чем? Разве трудно бывает сказать, чего требует благоразумие в каждом данном случае? Положим, например, что у меня есть тяжба, в которой я кругом виноват. Предположим также, что мой противник, совершенно правый, так привык к несправедливостям судьбы, что с трудом уже верит в возможность дождаться решения нашей тяжбы: она тянулась уже несколько десятков лет; много раз спрашивал он в суде, когда будет доклад, и много раз ему отвечали "завтра или послезавтра", и каждый раз проходили месяцы и месяцы, годы и годы, и дело все не решалось. Почему оно так тянулось, я не знаю, знаю только, что председатель суда почему-то благоприятствовал мне (он, кажется, полагал, что я предан ему всей душой). Но вот он получил приказание неотлагательно решить

дело. По своей дружбе ко мне он призвал меня и сказал: "Не могу медлить решением вашего процесса; судебным порядком не может он кончиться в вашу пользу,-- законы слишком ясны; вы проиграете все; потерей имущества не кончится для вас дело; приговором нашего гражданского суда обнаружатся обстоятельства, за которые вы будете подлежать ответственности по уголовным законам, а вы знаете, как они строги; каково будет решение уголовной палаты, я не знаю, но думаю, что вы отделаетесь от нее слишком легко, если будете приговорены только к лишению прав состояния,-- между нами будь сказано, можно ждать вам еще гораздо худшего. Ныне суббота; в понедельник ваша тяжба будет доложена и решена; далее отлагать ее не имею я силы при всем расположении моем к вам. Знаете ли, что я посоветовал бы вам? Воспользуйтесь остающимся у вас днем: предложите мировую вашему противнику; он еще не знает, как безотлагательна необходимость, в которую я поставлен полученным мной предписанием; он слышал, что тяжба решается в понедельник, но он слышал о близком ее решении столько раз, что изверился своим надеждам; теперь он еще согласится на полюбовную сделку, которая будет очень выгодна для вас и в денежном отношении, не говоря уже о том, что ею избавитесь вы от уголовного процесса, приобретете имя человека снисходительного, великодушного, который как будто бы сам почувствовал голос совести и человечности. Постарайтесь кончить тяжбу полюбовной сделкой. Я прошу вас об этом как друг ваш".

Что мне теперь делать, пусть скажет каждый из вас: умно ли будет мне поспешить к моему противнику для заключения мировой? Или умно будет пролежать на своем диване единственный остающийся мне день? Или умно будет накинуться с грубыми ругательствами на благоприятствующего мне судью, дружеское предуведомление которого давало мне возможность с честью и выгодой для себя покончить мою тяжбу?

Из этого примера читатель видит, как легко в данном случае решить, чего требует благоразумие.

"Старайся примириться с своим противником, пока не дошли вы с ним до суда, а иначе отдаст тебя противник судье, а судья отдаст тебя исполнителю приговоров, и будешь ты ввергнут в темницу и не выйдешь из нее, пока не расплатишься за все до последней мелочи" (Матф., глава V, стих. 25 и 26).

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые опубликовано в журнале "Атеней", 1858, No 18.

Статья написана как отклик на тургеневскую повесть "Ася", которая была напечатана в "Современнике" в том же году (No 1).

В. И. Ленин, говоря о том, что Чернышевский и подцензурными статьями воспитывал настоящих революционеров, имел в виду, в частности, этот блестящий политический памфлет. Характеризуя трусливое и предательское поведение российского либерала во время первой русской революции, Ленин в 1907 году вспоминал пылкого тургеневского героя,

сбежавшего от Аси, "героя", про которого Чернышевский писал: "Русский человек на rendez-vous".

Рассматривая главного персонажа повести точно под сильным микроскопом, критик обнаруживает в нем общность с другими литературными героями русской литературы, с так называемыми "лишними людьми". Отношение Чернышевского к "лишним людям" не было однозначным. Примерно до 1858 года, когда разночинцы-демократы еще не потеряли окончательно веры в либеральное дворянство, критик брал под защиту "лишних людей" от нападок реакционно-охранительной печати, противопоставлял их косным и самодовольным "существователям". Однако прогрессивное значение "лишних людей" было ограничено, оно исчерпало себя задолго до начала революционной ситуации 60-х годов. В новых исторических условиях обнаружились органические недостатки этого типа людей как в жизни, так и в литературе.

Россия в канун отмены крепостного права бурлила. Требовались действенные решения. А "лишние люди", унаследовав от своих предшественников 30--40-х годов склонность бесконечно анализировать свои внутренние переживания, оказались неспособными перейти от слов к делу, оставались "все в той же позицьи". Этим объясняется резкость тона и язвительность выступления Чернышевского против традиционной идеализации мнимых "героев". И в этом историческое значение его размышлений о "нашем Ромео", герое повести "Ася", который "не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык... он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск...". Между тем ведь этот "недогадливый" человек умен, он много испытал в жизни, богат запасом наблюдений над самим собою и другими.

Критик-публицист в статье "Русский человек на rendez-vous" обращается к дворянской либеральной интеллигенции с серьезным предупреждением: кто не посчитается с требованиями крестьянства, не пойдет навстречу революционной демократии, отстаивающей жизненные права трудового народа, тот в конечном счете будет сметен ходом истории. Заявлено это в иносказательной форме, но достаточно определенно. К такому выводу подводил читателя тончайший анализ, содержащийся в статье Чернышевского, поведения "нашего Ромео", испугавшегося самоотверженной любви девушки и отказавшегося от нее.

Стр. 398. Рассказами в деловом ... роде критик иронически называет произведения так называемой "обличительной литературы" (см. примечания к "Губернским очеркам").

Стр. 401. ...нечто... похожее... на один из романов Жоржа Санда.-- Имеются в виду романы "Индиана", "Жак", "Консуэло" и др. французской писательницы Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван, 1804--1876).

Макс Пикколомини -- герой драм Шиллера "Пикколомини" и "Смерть Валленштейна", благородный мечтатель-романтик.

"Фауст".-- Здесь имеется в виду рассказ в девяти письмах И. С. Тургенева, опубликованный первоначально в журнале "Современник" (1856, No 10).

Стр. 403. Бельтов - герой романа А. И. Герцена "Кто виноват?" (1846) жертвует своей любовью для того, чтобы не прине-сти страдания мужу любимой женщины.

Стр. 412. Сказка о Лорелее -- Легенда о прекрасной рейнской русалке Лорелее, заманивавшей своим пением рыбаков и корабельщиков к опасным скалам, написана немецким поэтом-романтиком Брентано (1778--1842); этот мотив неоднократно использовался в немецкой поэзии. Самое известное стихотворение на этот сюжет написал Генрих Гейне (1797--1836).

Стр. 415. Когда-то любили у нас Гофмана.-- Речь идет о немецком писателе-романтике Э. Т. А. Гофмане (1776--1822) и об его романе "Повелитель блох".

Стр. 418. ...его семья презирала всех нам близких.-- Чернышевский иносказательно указывает на антагонизм между дворянской и разночинно-демократической интеллигенцией. Пафос статьи в утверждении мысли о размежевании сил, происходящем в ходе исторического процесса: на смену "людям сороковых годов" приходило поколение революционеров-шестидесятников, возглавивших народно-освободительное движение.

Стр. 421. Конец статьи -- развернутое иносказание. Чернышевский был вынужден прибегнуть к аллегориям, говорить о "тяжбе", обратиться к евангельскому сюжету, чтобы провести идею о непримиримости классовых интересов русского крестьянства и помещиков-крепостников.

АСЯ

I

Мне было тогда лет двадцать пять, -- начал Н.Н., дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы "окончить мое воспитание", как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись -- я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время -- и хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего.

Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица -- именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел в дрезденском "Грюне Гевелбе". Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые человеческие лица -- речи людей, их

движения, смех -- вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти туда, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей... да я даже не наблюдал их -- я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.

Итак, лет двадцать тому назад я жил в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми -- и со мною, грешным, -- сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству -- чем молодость не тешится! -- и поселился в З.

Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, -- а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голоском: "Guten Abend!" -- а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах Я любил бродить тогда по городу; луна казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и слово "Гретхен" -- не то восклицание, не то вопрос -- так и просилось на уста.

Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером я сидел на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мной белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.

-- Что это? -- спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.

-- Это, -- отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, -- студенты приехали из Б. на коммерш.

"А посмотрю-ка я на этот коммерш, -- подумал я, -- кстати же, я в Л. не бывал". Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.

II

Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства (Landsmannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сениора, то есть старшины, -- и пируют до утра, пьют, поют песни, Landesvater, Gaudeamus, курят, бранят филистеров; иногда они нанимают оркестр.

Такой точно коммерш происходил в г.Л. перед небольшой гостиницей под вывескою Солнца, в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины -- лучший смех на свете -- все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед -- куда бы то ни было, лишь бы вперед, -- это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. "Уж не пойти ли к ним?" -- спрашивал я себя...

-- Ася, довольно тебе? -- вдруг произнес за мной мужской голос по-русски

-- Подождем еще, -- ответил другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся... Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

-- Вы русские? -- сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

-- Да, русские.

-- Я никак не ожидал... в таком захолустье, -- начал было я.

-- И мы не ожидали, -- перебил он меня, -- что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... -- он запнулся на мгновение, -- моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как и я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выраженью их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости... Человек внезапно настораживался

весь, глаз беспокойно бегал... "Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною", -- казалось, говорил этот утопленный взгляд... Проходило мгновенье --- и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.

Девушка, которую он назвал своей сестрой, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого, круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.

-- Хотите вы зайти к нам? -- сказал мне Гагин, -- кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Ася, пойдем домой?

Девушка утвердительно кивнула головой.

-- Мы живем за городом, -- продолжал Гагин, -- в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне.

Мы отправились. Через низкие ворота города (старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград; солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усыпанной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой стене небольшого домика, с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались.

-- Вот и наше жилище! -- воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику, -- а вот и хозяйка несет молоко. Guten Abend, Madame!.. Мы сейчас примемся за еду; но прежде, -- прибавил он, -- оглянитесь... каков вид?

Вид был, точно, чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразил чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте.

-- Отличную вы выбрали квартиру, -- промолвил я.

-- Это Ася ее нашла, -- отвечал Гагин. -- Ну-ка, Ася, -- продолжал он, -- распоряжайся. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, -- прибавил он, обратясь ко мне, -- вблизи иной вальс никуда не годится -- пошлые, грубые звуки, -- а в отдаленье, -- чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.

Ася (собственное имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы позвольте мне ее так называть) -- Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли

большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:

-- Ася, полно ежиться! он не кусается.

Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видел существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен.

Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь, а беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна; мы ее роспили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом; однако я видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец, луна встала и заиграла по Рейну; все осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер; ночным, душистым теплом повеяло от земли.

-- Пора! -- воскликнул я, -- а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.

-- Пора, -- повторил Гагин.

Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.

-- Ты разве не спишь? -- спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо.

Последние умирающие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.

-- Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, -- закричала мне Ася.

Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.

-- Прощайте! -- раздался опять ее голос.

-- До завтра, -- проговорил за нею Гагин.

Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного лансеровского вальса. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны моего

сердца задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медлено вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнату весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий.

Я чувствовал себя счастливым... Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал... Я был счастлив.

Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице... "Что же это значит? -- спросил я самого себя. -- Разве я не влюблен?" Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.

III

На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел:

Ты спишь ли? Гитарой

Тебя разбужу...

Я поспешил отворить ему дверь.

-- Здравствуйте, -- сказал Гагин, входя, -- я вас раненько потревожил, на посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют...

Со своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро.

Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин рассказал мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поведал ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня со снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной два раза из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился.

Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на "развалину". Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В них было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.

-- Да, да, -- подхватил он со вздохом, -- вы правы; все это очень плохо и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом; землю, кажется, сдвинул бы с места -- а в исполнении тотчас слабеешь и устаешь.

Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.

-- Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь, -- промолвил он сквозь зубы, -- не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать, -- сказал он.

Мы пошли.

IV

Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уже наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кое-где лепился плющ; искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и уселась на уступе стены, прямо над пропастью.

-- А ведь это Ася! -- воскликнул Гагин, -- экая сумасшедшая!

Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.

-- Полноте, -- сказал мне шепотом Гагин, -- не дразните ее; вы ее не знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смышлености местных жителей.

Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас через очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутавшись кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное... "Она хочет удивить нас, -- думал я, -- к чему это? Что за детская выходка?" Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды.

-- Ты думаешь, я хочу пить? -- промолвила она, обращаясь к брату, -- нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.

Гагин ничего не ответил ей; а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться о развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестевших на солнце. Ее движения были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала... Мне стало еще досаднее.

-- Да она как коза лазит, -- пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновенье от своего чулка.

Наконец, Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; полудерзко, полувесело щурились темные глаза.

"Вы находите мое поведение неприличным, -- казалось, говорило ее лицо -- все равно: я знаю, вы мной любуетесь".

-- Искусно, Ася, искусно, -- промолвил Гагин вполголоса.

Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подсела к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:

-- За здоровье дамы вашего сердца!

-- А разве у него, -- разве у вас есть такая дама? -- спросила вдруг Ася.

-- Да у кого же ее нет? -- возразил Гагин.

Ася задумалась на мгновение; ее лицо опять изменилось, опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка.

На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичанах; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль -- роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: "Она ребенок; будьте снисходительны". Как только кончился обед, Ася встала и, надевая шляпу, спросила Гагина: можно ли ей пойти к фрау Луизе?

-- Давно ли ты стала спрашиваться? -- отвечал он со своей неизменной, на этот раз несколько смущенной улыбкой, -- разве тебе скучно с нами?

-- Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у нее; притом же я думала, что вам будет лучше вдвоем: господин Н. (она указала на меня) что-нибудь еще тебе расскажет.

Она ушла.

-- Фрау Луизе, -- сказал Гагин, стараясь избегать моего взора, -- вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем пустая старушка. Она очень полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего: я заметил: причиною этому всегда бывает гордость. Она у меня очень избалована, как видите, -- прибавил он, помолчав немного, -- да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисходительным с нею.

Я промолчал. Гагин переменил разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом; она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником... Без горького, постоянного труда не бывает художников... а трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь -- нет! трудиться ты не будешь, сдаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем, то сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом; и в эти четыре часа сошлись окончательно.

Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвращалась.

-- Экая она у меня вольница! -- промолвил Гагин. -- Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк не велик.

Мы спустились в город и, свернувши в узкий, кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго; весь дом с своей ветхой резьбой, двумя толстыми внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался огромной, сгорбленной птицей.

-- Ася! -- крикнул Гагин, -- ты здесь?

Освещенное окно в третьем этаже стукнуло и открылось, и мы увидали темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.

-- Я здесь, -- проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, -- мне здесь хорошо. На тебе, возьми, -- прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума, -- вообрази, что я дама твоего сердца.

Фрау Луизе засмеялась.

-- Н. уходит, -- ответил Гагин, -- он хочет с тобой проститься.

-- Будто? -- промолвила Ася, -- в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь.

Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону.

Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидал возле

дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. "Что я здесь делаю, зачем таскаюсь в чужой стороне, между чужими?" -- воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец, я сел, и, вспомнив о своей коварной вдове, (официальным воспоминанием обо этой даме заключался каждый мой день), достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать... думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию... "Полно, сестра ли она его?" -- произнес я громко.

Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой "капризной девочке с натянутым смехом...". "Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине, -- шептал я, -- да; и она ему не сестра..."

А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.

V

На следующее утро опять я пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным, но втайне я хотел посмотреть, что станет делать Ася, так ли она будет "чудить", как накануне. Я застал обоих в гостиной, и странное дело! -- оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, -- Ася показалась мне совершенно русской девушкой, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пяльцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать вполголоса "Матушку, голубушку". Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры: я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли я ему?

-- Напротив, -- возразил он, -- вы мне можете хороший совет дать.

Он надел круглую шляпу a la Van Dyck, блузу, взял картон под мышку и отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, попросил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок: Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку; но я двух страниц не прочел, а он только бумагу измарал; мы все больше рассуждали, и, сколько я могу судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое собственно значение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он "сегодня не в ударе", лег рядом со мной, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись

мы домой. Я нашел Асю точно такою же, какою я ее оставил; как я ни старался наблюдать за нею -- ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил; на этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности.

-- А-га! -- говорил Гагин, -- пост и покаяние на себя наложила.

К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным, и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем: этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:

-- Что за хамелеон эта девушка! -- и, подумав немного, прибавил: -- А все-таки она ему не сестра.

VI

Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной; она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.

Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и получила воспитание странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него, несмотря на его шляпу a la Van Dyck и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походила на барышню; во всех ее движениях было что-то неспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об ее жизни в России, о ее прошедшем: она неохотно отвечала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.

-- Браво! -- сказал я, подойдя к ней, -- как вы прилежны!

Она подняла голову, важно и строго посмотрела на меня.

-- Вы думаете, что я только смеяться умею, -- промолвила она и хотела удалиться...

Я взглянул на заглавие книги: это был какой-то французский роман.

-- Однако я ваш выбор похвалить не могу, -- заметил я.

-- Что же читать! -- воскликнула она, и, бросив книгу на стол, прибавила: -- Так лучше пойду дурачиться, -- и побежала в сад.

В тот же день, вечером, я читал Гагину "Германа и Доротею". Ася сперва все только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом, тихонько подсела ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным

существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он общался с нею не по-братски: слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно.

Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.

Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертою. Не долго думавши добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций; я поравнялся с нею и уже прошел было мимом... Вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносившей следующие слова:

-- Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить -- и навсегда.

-- Полно, Ася, успокойся, -- говорил Гагин, -- ты знаешь, я тебе верю.

Голоса их раздавались в беседке. Я увидал их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.

-- Тебя, тебя одного, -- повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.

-- Полно, полно, -- твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.

Несколько мгновений остался я неподвижным... Вдруг я встрепенулся. "Подойти к ним?.. Ни за что!" -- сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновение не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. "Однако, -- думал я, -- умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него... И что за чувствительное объяснение?"

VII

Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. Эти горы, отрасли хребта, называемого Собачьей спиной (Hundsruck), очень любопытные в геологическом отношении; в особенности замечательные они правильностью и чистотой базальтовых слоев; но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиным. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто принуждал их выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли облака, благо погода стояла удивительная. В таких

занятиях я провел три дня и не без удовольствия, -- хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе того края.

Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям; неторопливо смеясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось все, что я видел, ощутил, слышал в эти три дня, -- все: тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквами и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие, медлительные возы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам, обсаженным яблонями и грушами...

Даже теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы... Привет тебе и мир!

Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить образ жестокосердной вдовы; но мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел крестьянскую девочку лет пяти, с круглым любопытным личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски-простодушно смотрела на меня... Мне стало стыдно ее чистого взора, я не хотел лгать в ее присутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним предметом.

Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.

VIII

Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками; но Ася, точно нарочно, как только увидела меня, расхохоталась без всякого повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю; уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал, когда я отсутствовал. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнату и убегала снова; я объявил наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва удерживал меня, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн, и, проходя мимо любимого моего ясеня с статуйкой мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами.

Сперва мы перекинулись несколькими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку.

-- Скажите, -- заговорил вдруг Гагин, со своей обычной улыбкой, -- какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?

-- Да, -- ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.

-- Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, -- промолвил он, -- у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с ней ладить. Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю...

-- Ее историю? -- перебил я, -- разве она не ваша ...

Гагин взглянул на меня.

-- Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет, -- продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство, -- она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам все.

Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный -- и несчастливый. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил, наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видел улыбки на лице его... но попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил моего отца все более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидал у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти -- Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление -- он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечи, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он меня извещает о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором, и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.

-- Вот, -- сказал мне с усилием отец, -- завещаю тебе мою дочь -- твою сестру. Ты все узнаешь от Якова, -- прибавил он, указав на камердинера.

Ася зарыдала и упала лицом на кровать... Полчаса спустя мой отец скончался.

Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Живо я помню эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо с большими темными глазами. Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.

-- Покойница Татьяна Васильевна, -- так докладывал мне Яков, стоя у двери с закинутыми назад руками, -- во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я барыня? Так они говорить изволили, при мне говорили-с.

Татьяна даже не хотела переселится к нам в дом и продолжала жить у своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе, возле окна, -- ее строгий профиль четко вырезался на прозрачном стекле, -- и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери.

Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявлял желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. Он был ее учителем; кроме него, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она так же скоро поняла свое ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить целый мир забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы ... Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.

И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее била лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполовину.

Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, -- жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но

начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. "И наказать ее нельзя, -- говаривала она мне, -- и на ласку она не подается". Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрямилась, глядела букой... Я не мог слишком винить ее: в ее положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичиться. Изо всех подруг она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи, как только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона божия преподаватель заговорил о пороках. "Лесть и трусость -- самые дурные пороки", -- громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой; только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.

Наконец ей минуло семнадцать лет; оставаться ей долее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собой. Задумано -- сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она ... шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей все нипочем, -- мнением каждого дорожит, вашим же мнением в особенности.

И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.

-- Все так, -- заговорил опять Гагин, -- но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить ... И при этом так расплакалась ...

-- Так вот что ... -- промолвил было я и прикусил язык.

-- А скажите-ка мне, -- спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, -- неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видела же она молодых людей?

-- Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек -- или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, -- прибавил он, вставая.

-- Послушайте, -- начал я, -- пойдемте к вам, мне домой не хочется.

-- А работа ваша?

Я ничего не ответил; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость -- именно сладость на сердце. Мне стало легко после гагинского рассказа.

IX

Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.

-- Вот он опять, -- заговорил Гагин, -- и, заметь, сам захотел вернуться.

Ася вопросительно посмотрела на меня. Я в свою очередь протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее; теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку: ее внутреннее беспокойство, неуменье держать себя, желание порисоваться -- все мне стало ясно. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась.

Гагин начал копаться в своих рисунках; я предложил Асе погулять со мной по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.

-- И вам не скучно было без нас? -- начала Ася.

-- А вам без меня было скучно? -- спросил я.

Ася взглянула на меня сбоку.

-- Да, -- ответила она. -- Хорошо в горах? -- продолжала она тотчас, -- они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.

-- Вольно ж было вам уходить, -- заметил я.

-- Я уходила ... потому что ... Я теперь вот не уйду, -- прибавила она с доверчивой лаской в голосе, -- вы сегодня были сердиты.

-- Я?

-- Вы.

-- Отчего же, помилуйте...

-- Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.

-- И я рад, что вернулся, -- промолвил я.

Ася повел плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.

-- О, я умею отгадывать! -- продолжала она, -- бывало, я по одному папашиному кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.

До этого дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило.

-- Вы любили вашего батюшку? -- проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.

Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.

-- Что же вы не рассказываете? -- прошептала Ася.

-- Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? -- спросил я.

-- Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки сказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами...

Ася подняла голову и встряхнула кудрями.

-- Ах, мне хорошо, -- проговорила она.

В это мгновенье до нас долетели отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными остановками повторяли молитвенный напев: толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями...

-- Вот бы пойти с ними, -- сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов.

-- Разве вы такая набожны?

-- Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, -- -- продолжала она. -- А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?

-- Вы честолюбивы, -- заметил я, -- вы хотите прожить не даром, след за собой оставить...

-- А разве это невозможно?

"Невозможно", -- чуть было не повторил я... Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил:

-- Попытайтесь.

-- Скажите, -- заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть, -- вам очень нравилась та дама ... Вы помните, брат пил за ее здоровье в развалине, на второй день нашего знакомства?

Я засмеялся.

-- Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере теперь ни одна не нравится.

-- А что вам нравится в женщинах? -- спросила Ася, закинув голову с невинным любопытством.

-- Какой странный вопрос! -- воскликнул я.

Ася слегка смутилась.

-- Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.

-- Говорите, ради бога, не бойтесь, -- подхватил я, -- я так рад, что вы, наконец, перестаете дичиться.

Ася опустила глаза и засмеялась тихим и легким смехом; я не знал за ней такого смеха.

-- Ну, рассказывайте же, -- продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго, -- рассказывайте или прочитайте что-нибудь, как, помните, вы нам читали из "Онегина" ...

Она вдруг задумалась ...

Где нынче крест и тень ветвей

Над бедной матерью моей! --

проговорила она вполголоса.

-- У Пушкина не так, -- заметил я.

-- А я хотела бы быть Татьяной, -- продолжала она все так же задумчиво. -- Рассказывайте, -- подхватила она с живостью.

Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами -- небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.

-- Посмотрите, как хорошо! -- сказал я, невольно понизив голос.

-- Да, хорошо! так же тихо отвечала она, не смотря на меня. -- Если бы мы с вами были птицы, -- как бы мы взвились, как бы полетели ... Так бы и утонули в этой синеве ... Но мы не птицы.

-- А крылья могут у нас вырасти, -- возразил я.

-- Как?

-- Поживите -- узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.

-- А у вас были?

-- Как вам сказать... Кажется, до сих пор я еще не летал.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.

-- Умеете вы вальсировать? -- спросила она вдруг.

-- Умею, -- ответил я, несколько озадаченный.

-- Так пойдемте, пойдемте ... Я попрошу брата сыграть нам вальс ... Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.

Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею -- и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически строгий облик. Долго потом рука моя

чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыхание, долго мерещились темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.

X

Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно. Въехавши на середину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по течению. Старик поднял весла -- и царственная река понесла нас. Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце... поднял глаза к небу -- но и в небе не было покоя: испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к реке... но и там, и в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду -- и тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки... Шепот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свежее дыханье волны не охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и любит. Нет! во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел называть его по имени, -- но счастья, счастья до пресыщения -- вот чего хотел я, вот о чем томился... А лодка все неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами.

XI

Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней; ее судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только со вчерашнего дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайный обаяния стыдливо в нем сквозили...

Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик, я не только о будущем -- я о завтрашнем дне не думал; мне было очень хорошо.

Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печально. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкновению своему, собралась было бежать, но сделала усилие над собой -- и осталась. Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, "поймать природу за хвост". Он стоял, весь взъерошенный и выпачканный красками, перед натянутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинулся на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза.

-- Вы сегодня не такая, как вчера, -- заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы.

-- Нет, не такая, -- ответила она неторопливым и глухим голосом. -- Но это ничего... Я нехорошо спала, всю ночь думала.

-- О чем?

-- Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой...

Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:

-- Когда я жила с матушкой... я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду -- да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?... Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной должно быть очень скучно.

-- Вы несправедливы к себе, -- возразил я. -- Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом...

-- А я умна? -- спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. -- Брат, я умна? -- спросила она Гагина.

Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку.

-- Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, -- продолжала Ася с тем же задумчивым видом. -- Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы... Правда ли, что женщинам не следует читать много?

-- Много не нужно, но...

-- Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я все буду делать, что вы мне скажете, -- прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне.

Я не тотчас нашелся, что сказать ей.

-- Ведь вам не будет скучно со мной?

-- Помилуйте, -- начал я.

-- Ну, спасибо! -- возразила Ася, -- а я думала, что вам скучно будет.

И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою.

-- Н.! -- вскрикнул в это мгновение Гагин, -- не темен ли этот фон?

Я подошел к нему. Ася встала и удалилась.

Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня рукою.

-- Послушайте, -- сказала она, -- если б я умерла, вам было бы жаль меня?

-- Что у вас за мысли сегодня! -- воскликнул я.

-- Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что все вокруг меня со мной прощается. Умереть лучше, чем жить так... Ах! не глядите так на меня; я, право, не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.

-- Разве вы меня боялись?

-- Если я такая странная, я, право, не виновата, -- возразила она. -- Видите, я уж и смеяться не могу...

Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спокойною, а мне, глядя на нее, все хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее нерешительных, замедленных движениях -- а ей почему-то воображалось, что я не в духе.

-- Послушайте, -- сказала она мне незадолго до прощанья, -- меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной... Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны; а я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное слово...

Это "честное слово" опять заставило меня засмеяться.

-- Ах, не смейтесь, -- проговорила она с живостью, -- а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: "Зачем вы смеетесь?" -- и, помолчав немного, она прибавила: -- Помните, вы вчера говорили о крыльях?... Крылья у меня выросли -- да лететь некуда.

-- Помилуйте, -- промолвил я, -- перед вами все пути открыты.

Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.

-- Вы сегодня дурного мнения обо мне, -- сказала она, нахмурив брови.

-- Я? дурного мнения? о вас!...

-- Что вы точно в воду опущенные, -- перебил меня Гагин, -- хотите, я, по-вчерашнему, сыграю вам вальс?

-- Нет, нет, -- возразила Ася и стиснула руки, -- сегодня ни за что!

-- Я тебя не принуждаю, успокойся...

-- Ни за что, -- повторила она, бледнея.

. . . . . .

"Неужели она меня любит?" -- думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны.

XIII

"Неужели она меня любит?" -- спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ, образ "девушки с натянутым смехом", втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось, у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: "Это пройдет, это ничего, все пройдет, не правда ли?" -- и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав ее более.

Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу -- не мог; хотел ничего не делать и не думать... и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.

-- Вы ли господин Н.? -- раздался вдруг за мной детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. -- Это вам от фрейлейн Annette, -- прибавил он, подавая мне записку.

Я развернул ее -- и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. "Я непременно должна вас видеть, -- писала мне она, -- приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность... Приходите, ради бога, вы все узнаете... Скажите посланному: да".

-- Будет ответ? -- спросил меня мальчик.

-- Скажи, что да, -- отвечал я.

Мальчик убежал.

XIV

Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати еще не было.

Дверь отворилась -- вошел Гагин.

Лицо его было пасмурным. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным.

-- Что с вами? -- спросил я.

Гагин взял стул и сел против меня.

-- Четвертого дня, -- начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, -- я удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы... так прямо... Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.

Я вздрогнул и приподнялся...

-- Ваша сестра, говорите вы...

-- Да, да, -- перебил меня Гагин. -- Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать -- и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно.

-- Да вы ошибаетесь, -- начал я.

-- Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем не жаловалась... Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у нее сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: "Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо". Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у нее горела, зубы стучали. "Что с тобой? -- спросил я, -- ты больна?" Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить... Рыдания ее усиливаются... и вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом, я услышал, что она вас любит. Уверяю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, -- продолжал Гагин, -- но почему она вас так полюбила, этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю, -- я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость ее -- просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, -- и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и решился -- поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое лучшее -- уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть... как знать? -- вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд... Притом же я сам кое-что заметил... Я решился... узнать от вас... -- Бедный Гагин смутился. -- Извините меня, пожалуйста, -- прибавил он, -- я не привык к таким передрягам.

Я взял его за руку.

-- Вы хотите знать, -- произнес я твердым голосом, -- нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится...

Гагин взглянул на меня.

-- Но, -- проговорил он, запинаясь, -- ведь вы не женитесь на ней?

-- Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь...

-- Знаю, знаю, -- перебил меня Гагин. -- Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой -- верх неприличия... Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить... Другая умела бы все скрыть и

выждать -- но не она. С нею это в первый раз -- вот что беда! Если бы вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.

Я задумался. Слова Гагина "свиданье вам назначить" кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.

-- Да, -- сказал я наконец, -- вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.

Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавным, но мне было не до смеху.

-- Вы, повторяю, благородный человек, -- проговорил он, -- но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности... и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от вас?

Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.

Вот что мы остановились, наконец: во избежание беды я должен был идти на свидание и честно объясниться с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не подать вида, что ему известна ее записка; а вечером мы положили сойтись опять.

-- Я твердо надеюсь на вас, -- сказал Гагин и стиснул мне руку, -- пощадите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, -- прибавил он, вставая, -- потому что ведь вы на Асе не женитесь.

-- Дайте мне сроку до вечера, -- возразил я.

-- Пожалуй, но вы не женитесь.

Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смущала. Я не мог понять, что заставило ее все высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня...

"Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!" -- сказал я, вставая.

XV

В условленный час я переправился через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был тот самый мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.

-- От фрейлейн Annette, -- сказал он шепотом и подал мне другую записку.

Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом к фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж.

-- Опять: да? -- спросил меня мальчик.

-- Да, -- повторил я и пошел по берегу Рейна.

Вернуться домой было некогда, я не хотел бродить по улицам. За городской стеною находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли; со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива; я взглянул в ее лицо. Она быстро отворотилась и отошла прочь.

-- Да, -- промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин, -- Ганхен наша сегодня очень огорчена: жених ее пошел в солдаты.

Я посмотрел на нее; она прижалась в уголок и подперла рукой щеку; слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил пива; она принесла ему кружку и опять вернулась на свое место. Ее горе подействовало на меня; я начал думать об ожидавшем меня свидании, но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. "С ней шутить нельзя" -- эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным -- и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь... Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо -- признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. "Я не могу на ней жениться, -- решил я, наконец, -- она не узнает, что и я полюбил ее".

Я встал -- и, положив талер в руку бедной Ганхен (она даже не поблагодарила меня), направился к дому фрау Луизе. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба, над темной улицей, алела отблеском зари. Я слабо стукнул в дверь; она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте.

-- Сюда! -- послышался я старушечий голос. -- Вас ждут.

Я шагнул раза два ощупью, чья-то костлявая рука взяла мою руку.

-- Вы это, фрау Луизе? -- спросил я.

-- Я, -- отвечал мне тот же голос, -- я, мой прекрасный молодой человек.

Старуха повела меня опять вверх, по крутой лестнице, и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидал морщинистое лицо вдовы бургомистра. Приторно-лукавая улыбка растягивала ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки. Она указала мне на маленькую дверь. Судорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собой.

XVI

В небольшой комнате, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная

птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову...

-- Анна Николаевна, -- сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня -- и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони.

-- Я желала... -- начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, -- я хотела... Нет, не могу, -- проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.

Я сел подле нее.

-- Анна Николаевна, -- повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накипавшие слезы... Я глядел на нее; было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло...

-- Ася, -- сказал я чуть слышно...

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, которая полюбила, -- кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались... Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами, я нагнулся и приник к ее руке...

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидел ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все, я потянул ее к себе -- покорно повиновалась ее рука, все тело ее повлеклось вслед за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы...

-- Ваша... -- прошептала она чуть слышно.

Уже руки мои скользили вокруг ее стана... Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.

-- Что мы делаем!.. -- воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. -- Ваш брат... ведь он все знает... Он знает, что я вижусь с вами.

Ася опустилась на стул.

-- Да, -- продолжал я, вставая и отходя в другой угол комнаты. -- Ваш брат все знает... Я должен был ему все сказать.

-- Должны? -- проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо меня понимала.

-- Да, да, -- повторил я с каким-то ожесточением, -- и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. -- Я старался не глядеть на Асю и ходил большими шагами по комнате. -- Теперь все пропало, все, все.

Ася поднялась было со стула.

-- Останьтесь, -- воскликнул я, -- останьтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком, -- да, с честным человеком. Но, ради бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне.

"Что я такое говорю?" -- думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что все искажено, обнаружено, -- так и звенела у меня в голове.

-- Я не звала брата, -- послышался испуганный шепот Аси, -- он пришел сам.

-- Посмотрите же, что вы наделали, -- продолжал я. -- Теперь вы хотите уехать...

-- Да, я должна уехать, -- так же тихо проговорила она, -- я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.

-- И вы думаете, -- возразил я, -- мне будет легко с вами расстаться?

-- Но зачем же вы сказали брату? -- с недоумением повторила Ася.

-- Я вам говорю -- я не мог поступить иначе. Если бы вы сами не выдали себя...

-- Я заперлась в моей комнате, -- возразила она простодушно, -- я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ...

Это невинное извинение, в ее устах, в такую минуту -- меня тогда чуть не рассердило... а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!

-- И вот теперь все кончено! -- начал я снова. -- Все. Теперь нам должно расстаться. -- Я украдкой взглянул на Асю... лицо ее быстро краснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил как в лихорадке. -- Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне...

Пока я говорил, Ася все больше и больше наклонялась вперед -- и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Я не выношу женских слез: при виде их я тотчас теряюсь.

-- Анна Николаевна, Ася, -- твердил я, -- пожалуйста, умоляю вас, ради бога, перестаньте... -- Я снова взял ее за руку...

Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила -- с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла...

Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату -- я все еще стоял по самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться -- кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно разрешиться...

-- Фрейлейн ушла? -- спросила меня фрау Луизе, приподняв свои желтые брови до самой накладки.

Я посмотрел на нее как дурак -- и вышел вон.

XVII

Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная, меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, которая заставила Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал ее! Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате у меня достало силы, достало духа -- оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее. А теперь ее образ меня преследовал, я просил у нее прощения; воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах, о легком прикосновении ее головы к моей груди -- жгли меня. "Ваша..." -- слышался мне ее шепот. "Я поступил по совести", -- уверял я себя... Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? "Безумец! Безумец!" -- повторял я с озлоблением...

Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася.

XVIII

Гагин вышел мне навстречу.

-- Видели вы сестру? -- закричал он мне еще издали.

-- Разве ее нет дома? -- спросил я.

-- Нет.

-- Она не возвращалась?

-- Нет. Я виноват, -- продолжал Гагин, -- не мог утерпеть: против нашего уговора, ходил к часовне; там ее не было; стало быть, она не приходила?

-- Она не была у часовни.

-- И вы ее не видели?

Я должен был сознаться, что я ее видел.

-- Где?

-- У фрау Луизе. Я расстался с ней час тому назад, -- прибавил я, -- я был уверен, что она домой вернулась.

-- Подождем, -- сказал Гагин.

Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец, Гагин встал.

-- Это ни на что не похоже! -- воскликнул он, -- у меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу... Пойдемте искать ее.

Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело.

-- О чем же вы с ней говорили? -- спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза.

-- Я видел ее всего минут пять, -- отвечал я, -- я говорил с ней, как было условлено.

-- Знаете ли что? -- возразил он, -- лучше нам разойтись, этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае приходите сюда через час.

XIX

Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизе, вернулся к Рейну и побежал по берегу... Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла, -- тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал... нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь -- да! -- самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва вполголоса, потом все громче и громче; я повторял сто раз, что я ее люблю, я клялся никогда с ней не расставаться; я дал бы все на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее перед собою... Она была так близка, она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принесла мне свою нетронутую молодость... и я не прижал ее к своей груди, я лишил себя блаженства увидеть, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиной восторга... Эта мысль меня с ума сводила.

"Куда она могла пойти, что она с собою сделала?" -- восклицал я в тоске бессильного отчаяния... Что-то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест со старинной надписью. Сердце во мне замерло... Я подбежал к кресту: белая фигура исчезла. Я крикнул: "Ася!" Дикий голос испугал меня самого -- но никто не отозвался...

Я решил пойти узнать, не нашел ли ее Гагин.

XX

Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси... Это меня несколько успокоило.

Я подошел к дому; дверь внизу была заперта, я постучался. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.

-- Нашли? -- спросил я его.

-- Она вернулась, -- ответил он мне шепотом, -- она в своей комнате и раздевается. Все в порядке.

-- Слава богу! -- воскликнул я с несказанным порывом радости, -- слава богу! Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить.

-- В другое время, -- возразил он, тихо потянув к себе раму, -- в другое время, а теперь прощайте.

-- До завтра, -- сказал я, -- завтра все будет решено.

-- Прощайте, -- повторил Гагин. Окно затворилось.

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такой сватанье в такую пору... "До завтра, -- подумал я, -- завтра я буду счастлив..."

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее -- и то не день, а мгновенье.

Я не помню, как я дошел до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.

XXI

Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нем были раскрыты и дверь тоже была раскрыта; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показалась за дверью.

Я приблизился к ней...

-- Уехали! -- брякнула она, прежде чем я успел спросить ее: дома ли Гагин?

-- Уехали?... -- повторил я. -- Как уехали? Куда?

-- Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Постойте, ведь вы, кажется, господин Н.?

-- Я господин Н.

-- К вам есть письмо у хозяйки. -- Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. -- Вот-с, извольте.

-- Да не может быть... Как же это так?.. -- начал было я.

Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.

Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. "Вчера вечером, -- писал он, -- пока мы оба молча ждали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленные просьбам". В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.

"Какие предрассудки? -- вскричал я, как будто он мог меня слышать, -- что за вздор! Кто дал право похитить ее у меня..." Я схватил себя за голову...

Служанка начал громко кликать хозяйку: ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такой развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кельна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе... Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидал в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо; но она мне крикнула мне вслед, что у нее есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидал опять эту комнатку...

-- По-настоящему, -- начала старуха, показывая мне маленькую записку, -- я бы должна была дать вам это только в случае, если бы вы зашли ко мне сами, но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.

Я взял записку.

На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:

"Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю -- нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово -- я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше... Прощайте навсегда!"

Одно слово... О, я безумец! Это слово... я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей... но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю ее... Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви: оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании... оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее... но тогда уже было поздно. "Да это невозможно!" -- скажут мне; не знаю, возможно ли это, -- знаю, что это правда. Ася бы не уехала, если б в ней была хоть тень кокетства и если б ее положение не было ложно. Она не могла вынести того, что всякая другая снесла бы; я этого не понял. Недобрый мой гений остановил признание на устах моих при последнем свидании с Гагиным перед потемневшим окном, и последняя нить, за которую я еще мог ухватиться, -- выскользнула из рук моих.

В тот же день я вернулся с уложенным чемоданом в город Л. и поплыл в Кельн. Помню, пароход уже отчаливал, и я мысленно прощался с этими улицами, со всеми этими местами, которые я уже

никогда не должен был позабыть, -- я увидел Ганхен. Она сидела возле берега на скамье. Лицо ее было бледно, но не грустно; молодой красивый парень стоял рядом с нею и, смеясь, рассказывал ей что-то, а на другой стороне Рейна маленькая моя мадонна все так же печально выглядывала из темной зелени старого ясеня.

XXII

В Кельне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, я долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их.

И я не увидел их более -- я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о нем, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты... но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какою я знавал ее в лучшую пору своей жизни, какою я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула.

Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашел, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод -- и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и еще лучше, еще прекраснее?.. Я знавал других женщин -- но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовию устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием! Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле... И я сам -- что сталось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека -- переживает самого человека.

Права на этот электронный текст принадлежат Eugene's Electronic Library (Евгению Пескину), 1995 год. Разрешено свободное распространение при условии сохранения целостности текста (включая данную информацию).

E-mail:eugene@eugene.msk.su

I

10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною "Conversation" толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; все кругом -- зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, -- все празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; все улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило, и та же неопределенная, но хорошая улыбка бродила на человечьих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых. Самые даже насурмленные, набеленные фигуры парижских лореток не нарушали общего впечатления ясного довольства и ликования, а пестрые ленты, перья, золотые и стальные искры на шляпках и вуалях невольно напоминали взору оживленный блеск и легкую игру весенних цветов и радужных крыл; одна лишь повсюду рассыпавшаяся сухая, гортанная трескотня французского жаргона не могла ни заменить птичьего щебетанья, ни сравниться с ним.

А впрочем, все шло своим порядком. Оркестр в павильоне играл то попурри из "Травиаты", то вальс Штрауса, то "Скажите ей", российский романс, положенный на инструменты услужливым капельмейстером; в игорных залах, вокруг зеленых столов, теснились те же всем знакомые фигуры, с тем же тупым и жадным, не то изумленным, не то озлобленным, в сущности хищным выражением, которое придает каждым, даже самым аристократическим чертам картежная лихорадка; тот же тучноватый и чрезвычайно щегольски одетый помещик из Тамбова, с тою же непостижимою, судорожною поспешностью, выпуча глаза, ложась грудью на стол и не обращая внимания на холодные усмешки самих "крупиэ", в самое мгновенье возгласа "Rien ne va plus!" рассыпал вспотевшею рукою по всем четвероугольникам рулетки золотые кружки луидоров и тем самым лишал себя всякой возможности что-нибудь выиграть даже в случае удачи, что нисколько не мешало ему, в тот же вечер, с сочувственным негодованием поддакивать князю Коко, одному из известных предводителей дворянской оппозиции, тому князю Коко, который в Париже, в салоне принцессы Матильды, в присутствии императора, так хорошо сказал: "Madame, le principe de la propriete est profondement ebranle en Russie". К русскому дереву -- a l'Arble russe -- обычным порядком собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы; подходили они пышно, небрежно, модно, приветствовали друг друга величественно, изящно, развязно, как оно и следует существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования, но, сойдясь и усевшись, решительно не знали, что сказать друг другу, и пробавлялись либо дрянненьким переливанием из пустого в порожнее, либо затасканными, крайне нахальными и крайне плоскими выходками давным-давно выдохшегося французского экс-литератора, в жидовских башмачонках на мизерных ножках и с презренною бородкой на паскудной мордочке, шута и болтуна. Он им врал, a ces princes russes, всякую пресную дребедень из старых альманахов "Шаривари" и "Тентамарра", а они, ces princes russes, заливались благодарным смехом, как бы невольно сознавая и подавляющее превосходство чужестранного умника, и собственную окончательную неспособность придумать что-нибудь забавное. А между тем тут была почти вся "fine fieur" нашего общества, "вся знать и моды образцы". Тут был граф Х., наш несравненный дилетант, глубокая музыкальная натура, который так божественно "сказывает" романсы, а в сущности, двух нот разобрать не может, не тыкая вкось и вкривь указательным пальцем по клавишам, и поет не то как плохой цыган, не то как парижский коафер; тут был и наш восхитительный барон Z., этот мастер на все руки: и литератор, и администратор, и оратор, и шулер; тут был и князь Т., друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмешанной дурманом; и блестящий генерал О. О.. который что-то покорил, кого-то усмирил и вот, однако, не знает, куда деться и чем

себя зарекомендовать и Р. Р., забавный толстяк, который считает себя очень больным и очень умным человеком, а здоров как бык и глуп как пень... Тот же Р. Р. почти один в наше время еще сохранил предания львов сороковых годов, эпохи "Героя нашего времени" и графини Воротынской. Он хранил и походку враскачку на каблуках, и "le culte de la pose" (по-русски этого даже сказать нельзя), и неестественную медлительность движений, и сонную величественность выражения на неподвижном, словно обиженном лице, и привычку, зевая, перебивать чужую речь, тщательно рассматривать собственные пальцы и ногти, смеяться в нос, внезапно передвигать шляпу с затылка на брови и т. д. и т. д. Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума, воображающие, что золотая булла издана папой и что английский "poor-tax" есть налог на бедных; тут были, наконец, и рьяные, но застенчивые поклонники камелий, светские молодые львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими бакенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы, молодые львы, которым, казалось, ничего не мешало быть такими же пошляками, как и пресловутый французский говорун; но нет! не в ходу, знать, у нас родное, -- и графиня Ш., известная законодательница мод и гран-жанра, прозванная злыми языками "Царицей ос" и "Медузою в чепце", предпочитала, в отсутствии говоруна, обращаться к тут же вертевшимся итальянцам, молдаванцам, американским "спиритам", бойким секретарям иностранных посольств немчикам с женоподобною, но уже осторожною физиономией и т. п. Подражая примеру графини, и княгиня Babette, та самая, у которой на руках умер Шопен (в Европе считают около тысячи дам, на руках которых он испустил дух), и княгиня Annette, которая всем бы взяла, если бы по временам, внезапно, как запах капусты среди тончайшей амбры, не проскакивала в ней простая деревенская прачка; и княгиня Pachette, с которою случилось такое несчастие: муж ее попал на видное место и вдруг, Dieu sait pourquoi, прибил градского голову и украл двадцать тысяч рублей серебром казенных денег; и смешливая княжна Зизи, и слезливая княжна Зозо -- все они оставляли в стороне своих земляков, немилостиво обходились с ними... Оставим же и мы их в стороне, этих прелестных дам, и отойдем от знаменитого дерева, около которого они сидят в таких дорогих, но несколько безвкусных туалетах, и пошли им господь облегчения от грызущей их скуки!

II

В нескольких шагах от "русского" дерева, за маленьким столом перед кофейней Вебера, сидел красивый мужчина лет под тридцать, среднего роста, сухощавый и смуглый, с мужественным и приятным лицом. Нагнувшись вперед и опираясь обеими руками на палку, он сидел спокойно и просто, как человек, которому и в голову не может прийти, чтобы кто-нибудь его заметил или занялся им. Его карие, с желтизной, большие, выразительные глаза медленно посматривали кругом, то слегка прищуриваясь от солнца, то вдруг упорно провожая какую-нибудь мимо проходившую эксцентрическую фигуру, причем быстрая, почти детская усмешка чуть-чуть трогала его тонкие усы, губы и выдающийся крутой подбородок. Одет он был в просторное пальто немецкого покроя, и серая мягкая шляпа закрывала до половины его высокий лоб. На первый взгляд он производил впечатление честного и дельного, несколько самоуверенного малого, каких довольно много бывает на белом свете. Он, казалось, отдыхал от продолжительных трудов и тем простодушнее забавлялся расстилавшеюся перед ним картиной, что мысли его были далеко, да и вращались они, эти мысли, в мире, вовсе не похожем на то, что его окружало в этот миг. Он был

русский; звали его Григорием Михайловичем Литвиновым. Нам нужно с ним познакомиться, и потому приходится рассказать в коротких словах его прошедшее, весьма незатейливое и несложное.

Сын отставного служаки-чиновника из купеческого рода, он воспитывался не в городе, как следовало ожидать, а в деревне. Мать его была дворянка, из институток, очень доброе и очень восторженное существо, не без характера однако. Будучи двадцатью годами моложе своего мужа, она его перевоспитала, насколько могла, перетащила его из чиновничьей колеи в помещичью, укротила и смягчила его дюжий, терпкий нрав. По ее милости он стал и одеваться опрятно, и держаться прилично, и браниться бросил; стал уважать ученых и ученость, хотя, конечно, ни одной книги в руки не брал, и всячески старался не уронить себя: даже ходить стал тише и говорил расслабленным голосом, все больше о предметах возвышенных, что ему стоило трудов немалых. "Эх! Взял бы да выпорол!" -- думал он иногда про себя, а вслух произносил: "Да, да, это... конечно; это вопрос". Дом свой мать Литвинова тоже поставила на европейскую ногу; слугам говорила "вы" и никому не позволяла за обедом наедаться до сопения. Что же касается до имения, ей принадлежавшего, то ни она сама, ни муж ее ничего с ним сделать не сумели: оно было давно запущено, но многоземельно, с разными угодьями, лесами и озером, на котором когда-то стояла большая фабрика, заведенная ревностным, но безалаберным барином, процветавшая в руках плута-купца и окончательно погибшая под управлением честного антрепренера из немцев. Госпожа Литвинова уже тем была довольна, что не расстроила своего состояния и не наделала долгов. К несчастью, здоровьем она похвалиться не могла и скончалась от чахотки в самый год поступления ее сына в Московский университет. Он не кончил курса по обстоятельствам (читатель узнает о них впоследствии) и угодил в провинцию, где потолокся несколько времени без дела, без связей, почти без знакомых. По милости не расположенных к нему дворян его уезда, проникнутых не столько западною теорией о вреде "абсентеизма" сколько доморощенным убеждением, что "своя рубашка к телу ближе, он в 1855 году попал в ополчение и чуть не умер от тифа в Крыму, где, не видав не одного "союзника", простоял шесть месяцев в землянке на берегу Гнилого моря; потом послужил по выборам, конечно не без неприятностей, и, пожив в деревне, пристрастился к хозяйству. Он понимал, что имение его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлевшим отцом, не давало и десятой доли тех доходов, которые могло бы давать, и что в опытных и знающих руках оно превратилось бы в золотое дно; но он также понимал, что именно опыта и знания ему недоставало, -- и он отправился за границу учиться агрономии и технологии, учиться с азбуки. Четыре года с лишком провел он в Мекленбурге, в Силезии, в Карлсруэ, ездил в Бельгию, в Англию, трудился добросовестно, приобрел познания: нелегко они ему давались; но он выдержал искус до конца, и вот теперь, уверенный в самом себе, в своей будущности, в пользе, которую он принесет своим землякам, пожалуй, даже всему краю, он собирается возвратиться на родину, куда с отчаянными заклинаниями и мольбами в каждом письме звал его отец, совершенно сбитый с толку эманципацией, разверстанием угодий, выкупными сделками новыми порядками, одним словом... Но зачем же он в Бадене?

А затем он в Бадене, что он со дня на день ожидает приезда туда своей троюродной сестры и невесты -- Татьяны Петровны Вестовой. Он знал ее чуть не с детства и провел с ней весну и лето в Дрездене, где она поселилась с своей теткой. Он искренно любил, он глубоко уважал свою молодую родственницу и, окончив свою темную, приготовительную работу, собираясь вступить на новое поприще, начать действительную, не коронную службу, предложил ей, как любимой женщине, как товарищу и другу, соединить свою жизнь с его жизнью -- на радость и на горе, на труд и на отдых, "for better for worse", как говорят англичане. Она согласилась, и он отправился в Карлсруэ, где у него оставались книги, вещи, бумаги... Но почему же он в Бадене, спросите вы

опять? А потому он в Бадене, что тетка Татьяны, ее воспитавшая, Капитолина Марковна Шестова, старая девица пятидесяти пяти лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования и самоотвержения; esprit fort (она Штрауса читала -- правда, тихонько от племянницы) и демократка, заклятая противница большого света и аристократии, не могла устоять против соблазна хотя разочек взглянуть на самый этот большой свет в таком модном месте, каков Баден... Капитолина Марковна ходила без кринолина и стригла в кружок свои белые волосы, но роскошь и блеск тайно волновали ее, и весело и сладко было ей бранить и презирать их... Как же было не потешить добрую старушку?

Но оттого-то Литвинов так спокоен и прост, оттого он так самоуверенно глядит кругом, что жизнь его отчетливо ясно лежит пред ним, что судьба его определилась и что он гордится этою судьбой и радуется ей, как делу рук своих.

III

-- Ба! ба! ба! вот он где! -- раздался вдруг над самым его ухом пискливый голос, и отекшая рука потрепала его по плечу. Он поднял голову -- и узрел одного из своих немногочисленных московских знакомых, некоего Бамбаева, человека хорошего, из числа пустейших, уже немолодого, с мягкими, словно разваренными щеками и носом, взъерошенными жирными волосами и дряблым тучным телом. Вечно без гроша и вечно от чего-нибудь в восторге, Ростислав Бамбаев шлялся с криком, но без цели, по лицу нашей многосносной матушки-земли.

-- Вот, что называется, встреча! -- повторял он, расширяя заплывшие глаза и выдвигая пухлые губки, над которыми странно и неуместно торчали крашеные усы. Ай да Баден! Все сюда как тараканы лезут. Как ты сюда попал?

Бамбаев "тыкал" решительно всех на свете.

-- Я четвертого дня сюда приехал.

-- Откуда?

-- Да на что тебе знать?

-- Как на что! Да постой, постой, тебе, может быть неизвестно, кто еще сюда приехал? Губарев! Сам, своей особой! Вот кто здесь! Вчера из Гейдельберга прикатил. Ты, конечно, с ним знаком?

-- Я слышал о нем.

-- Только-то? Помилуй! Сейчас, сию минуту мы тебя к нему потащим. Этакого человека не знать! Да вот кстати и Ворошилов. Постой, ты, пожалуй, и с ним незнаком? Честь имею вас друг другу представить. Оба ученые! Этот даже феникс! Поцелуйтесь!

И, сказав эти слова, Бамбаев обратился к стоявшему возле него красивому молодому человеку с свежим и розовым, но уже серьезным лицом. Литвинов приподнялся и, разумеется, не поцеловался, а обменялся коротеньким поклоном с "фениксом", которому, судя по строгости осанки, не слишком понравилось это неожиданное представление.

-- Я сказал: феникс, и не отступаю от своего слова, -- продолжал Бамбаев, -- ступай в Петербург, в -- й корпус, и посмотри на золотую доску: чье там имя стоит первым? Ворошилова Семена Яковлевича! Но Губарев, Губарев, братцы мои!! Вот к кому бежать, бежать надо! Я решительно благоговею перед этим человеком! Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о... о... о!..

-- О чем это сочинение? -- спросил Литвинов.

-- Обо всем, братец ты мой, вроде, знаешь, Бекля... только поглубже, поглубже... Все там будет разрешено и приведено в ясность.

-- А ты сам читал это сочинением

-- Нет, не читал, и это даже тайна, которую не следует разглашать; но от Губарева всего можно ожидать всего! Да! -- Бамбаев вздохнул и сложил руки. Что, если б еще такие две, три головы завелись у нас на Руси, ну что бы это было, господи боже мой! Скажу тебе одно, Григорий Михайлович: чем бы ты ни занимался в это последнее время, -- а я и не знаю, чем ты вообще занимаешься, -- какие бы ни были твои убеждения, -- я их тоже не знаю, -- но у него, у Губарева, ты найдешь чему поучиться. К несчастию, он здесь ненадолго. Надо воспользоваться, надо идти. К нему, к нему! Проходивший франтик с рыжими кудряшками и голубою лентою на низкой шляпе обернулся и с язвительною усмешкой посмотрел сквозь стеклышко на Бамбаева.

Литвинову досадно стало.

-- Что ты кричишь? -- промолвил он, -- словно гончую на след накликаешь! Я еще не обедал.

-- Что ж такое! Можно сейчас у Вебера... втроем... Отлично! У тебя есть деньги заплатить за меня? -- прибавил он вполголоса.

-- Есть-то есть; только я, право, не знаю...

-- Перестань, пожалуйста; ты меня благодарить будешь, и он рад будет... Ах, боже мой! -- перебил самого себя Бамбаев. -- Это они финал из "Эрнани" играют. Что за прелесть!.. A som... so Carlo... Экой, однако, я! Сейчас в слезы. Ну, Семен Яковлевич! Ворошилов! Идем, что ли?

Ворошилов, который все еще продолжал стоять неподвижно и стройно, сохраняя прежнее, несколько горделивое достоинство осанки, знаменательно опустил глаза, нахмурился и промычал что-то сквозь зубы... но не отказался; а Литвинов подумал: "Что же! проделаем и это, благо время есть". Бамбаев взял его под руку, но, прежде чем направился в кофейную, кивнул пальцем Изабелле, известной цветочнице Жокей-клуба: ему вздумалось взять у ней букет. Но аристократическая цветочница не пошевельнулась; да и с какой стати было ей подходить к господину без перчаток, в запачканной плисовой куртке, пестром галстухе и стоптанных сапогах, которого она и в Париже-то никогда не видала? Тогда Ворошилов в свою очередь кивнул ей пальцем. К нему она подошла, и он, выбрав в ее коробке крошечный букет фиалок, бросил ей гульден. Он думал удивить ее своею щедростью; но она даже бровью не повела и, когда он от нее отвернулся, презрительно скорчила свои стиснутые губы. Одет Ворошилов был очень щегольски, даже изысканно, но опытный глаз парижанки тотчас подметил в его туалете, в его турнюре, в самой его походке, носившей следы рановременной военной выправки, отсутствие настоящего, чистокровного "шику".

Усевшись у Вебера в главной зале и заказав обед, знакомцы наши вступили в разговор. Бамбаев громко и с жаром потолковал о высоком значении Губарева, но скоро умолк и, шумно вздыхая и жуя, хлопал стакан за стаканом. Ворошилов пил и ел мало, словно нехотя, и, расспросив Литвинова о роде его занятий, принялся высказывать собственные мнения... не столько об этих занятиях, сколько вообще о различных "вопросах"... Он вдруг оживился и так и помчался, как добрый конь, лихо и резко отчеканивая каждый слог, каждую букву, как молодец-кадет на выпускном экзамене, и сильно, но не в лад размахивая руками. С каждым мгновением он становился все речистей, все бойчей, благо никто его не прерывал:он словно читал диссертацию или лекцию. Имена новейших ученых, с прибавлением года рождения или смерти каждого из них, заглавия только что вышедших брошюр, вообще имена, имена, имена -- дружно посыпались с его языка, доставляя ему самому высокое наслаждение, отражавшееся в его запылавших глазах. Ворошилов, видимо, презирал всякое старье, дорожил одними сливками образованности, последнею, передовою точкой науки; упомянуть, хотя бы некстати, о книге какого-нибудь доктора Зауэрбенгеля о пенсильванских тюрьмах или о вчерашней статье в "Азиатик джернал" о Ведах и Пуранах (он так и сказал: "Джернал", хотя, конечно, не знал по-английски)-- было для него истинною отрадой, благополучием. Литвинов слушал его, слушал и никак не мог понять, какая же, собственно, его специальность? То он вел речь о роли кельтийского племени в истории, то его уносило в древний мир, и он рассуждал об эгинских мраморах, напряженно толковал о жившем до Фидиаса ваятеле Онатасе, который, однако, превращался у него в Ионатана и тем на миг наводил на все его рассуждение не то библейский, не то американский колорит; то он вдруг перескакивал в политическую экономию и называл Бастиа дураком и деревяшкой, "не хуже Адама Смита и всех физиократов... " -- "Физиократов! -- прошептал ему вслед Бамбаев... -- Аристократов?.. " Между прочим, Ворошилов вызвал выражение изумления на лице того же самого Бамбаева небрежно и вскользь кинутым замечанием о Маколее, как о писателе устарелом и уже опереженном наукой; что же до Гнейста и Риля, то он объявил, что их стоит только назвать, и пожал плечами. Бамбаев также плечами пожал.

"И все это разом, безо всякого повода, перед чужими, в кофейной, -- размышлял Литвинов, глядя на белокурые волосы, светлые глаза, белые зубы своего нового знакомца (особенно смущали его эти крупные сахарные зубы да еще эти руки с их неладным размахом), -- и не улыбнется ни разу; а со всем тем, должно быть, добрый малый и крайне неопытный... " Ворошилов угомонился, наконец; голос его, юношески звонкий и хриплый, как у молодого петуха, слегка порвался... Кстати ж, Бамбаев начал декламировать стихи и опять чуть не расплакался, что произвело впечатление скандала за одним соседним столом, около которого поместилось английское семейство, и хихиканье за другим: две лоретки обедали за этим вторым столом с каким-то престарелым младенцем в лиловом парике. Кельнер принес счет; приятели расплатились.

-- Ну, -- воскликнул Бамбаев, грузно приподнимаясь со стула, -- теперь чашку кофе, и марш! Вон она, однако, наша Русь, -- прибавил он, остановившись в дверях и чуть не с восторгом указывая своей мягкой, красною рукой на Ворошилова и Литвинова... -- Какова?

"Да, Русь", -- подумал Литвинов; а Ворошилов, который уже опять успел придать лицу своему сосредоточенное выражение, снисходительно улыбнулся и слегка щелкнул каблуками.

Минут через пять они все трое поднимались вверх по лестнице гостиницы, где остановился Степан Николаевич Губарев... Высокая стройная дама в шляпке с короткою черною вуалеткой проворно спускалась с той же лестницы и, увидав Литвинова, внезапно обернулась к нему и

остановилась, как бы пораженная изумлением. Лицо ее мгновенно вспыхнуло и потом так же быстро побледнело под частой сеткой кружева; но Литвинов ее не заметил, и дама проворнее прежнего побежала вниз по широким ступеням.

IV

-- Григорий Литвинов, рубашка-парень, русская душа, рекомендую, -- воскликнул Бамбаев, подводя Литвинова к человеку небольшого роста и помещичьего склада, с расстегнутым воротом, в куцей куртке, серых утренних панталонах и в туфлях, стоявшему посреди светлой, отлично убранной комнаты, -- а это, -- прибавил он, обращаясь к Литвинову, -- это он, тот самый, понимаешь? Ну, Губарев, одним словом.

Литвинов с любопытством уставился на "того самого". На первый раз он не нашел в нем ничего необыкновенного. Он видел перед собою господина наружности почтенной и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, с широкою шеей, с косвенным, вниз устремленным взглядом. Этот господин осклабился, промолвил: "Ммм... да... это хорошо... мне приятно... " -- поднес руку к собственному лицу и, тотчас же, повернувшись к Литвинову спиной, ступил несколько раз по ковру, медленно и странно переваливаясь, как бы крадучись. У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и почесывая бороду концами длинных и твердых ногтей. Кроме Губарева, в комнате находилась еще одна дама в шелковом поношенном платье, лет пятидесяти, с чрезвычайно подвижным, как лимон желтым лицом, черными волосиками на верхней губе и быстрыми, словно выскочить готовыми глазами, да еще какой-то плотный человек сидел, сгорбившись, в уголку.

-- Ну-с, почтенная Матрена Семеновна, -- начал Губарев, обращаясь к даме и, видно, не считая нужным знакомить ее с Литвиновым, -- что бишь вы начали нам рассказывать?

Дама (ее звали Матреной Семеновной Суханчиковой, она была вдова, бездетная, небогатая, и второй уже год странствовала из края в край) заговорила тотчас с особенным, ожесточенным увлечением:

-- Ну, вот он и является к князю, и говорит ему: Ваше сиятельство, говорит, вы в таком сане и в таком звании, говорит, что вам стоит облегчить мою участь? Вы, говорит, не можете не уважать чистоту моих убеждений! И разве можно, говорит, в наше время преследовать за убеждения? И что ж, вы думаете, сделал князь, этот образованный, высокопоставленный сановник?

-- Ну, что он сделал? -- промолвил Губарев, задумчиво закуривая папироску.

Дама выпрямилась и протянула вперед свою костлявую правую руку с отделенным указательным пальцем.

-- Он призвал своего лакея и сказал ему: "Сними ты сейчас с этого человека сюртук и возьми себе. Я тебе дарю этот сюртук!"

-- И лакей снял? -- спросил Бамбаев, всплеснув руками.

-- Снял и взял. И это сделал князь Барнаулов, известный богач, вельможа, облеченный особенною властью, представитель правительства! Что ж после этого еще ожидать?

Все тщедушное тело г-жи Суханчиковой тряслось от негодования, по лицу пробегали судороги, чахлая грудь порывисто колыхалась под плоским корсетом; о глазах уже и говорить нечего: они так и прыгали. Впрочем, они всегда прыгали, о чем бы она ни говорила.

-- Вопиющее, вопиющее дело! -- воскликнул Бамбаев. -- Казни нет достойной!

-- Ммм... Эмм... Сверху донизу все гнило, -- заметил Губарев, не возвышая, впрочем, голоса. Тут не казнь... тут нужна... другая мера.

-- Да полно, правда ли это? -- промолвил Литвинов.

-- Правда ли? -- подхватила Суханчикова. -- Да в этом и думать нельзя сомневаться, д-у-у-у-у-мать нельзя... Она с такою силою произнесла это слово, что даже скорчилась. -- Мне это сказывал один вернейший человек. Да вы его, Степан Николаевич, знаете -- Елистратов Капитон. Он сам это слышал от очевидцев, от свидетелей этой безобразной сцены.

-- Какой Елистратов? -- спросил Губарев. -- Тот, что был в Казани?

-- Тот самый. Я знаю, Степан Николаич, про него распустили слух, будто он там с каких-то подрядчиков или винокуров деньги брал. Да ведь кто это говорит? Пеликанов! А возможно ли Пеликанову верить, когда всем известно, что он просто -- шпион!

-- Нет, позвольте, Матрена Семеновна, -- вступился Бамбаев, -- я с Пеликановым приятель; какой же он шпион?

-- Да, да, именно шпион!

-- Да постойте, помилуйте...

-- Шпион, шпион! -- кричала Суханчикова.

-- Да нет же, нет, постойте; я вам что скажу, кричал в свою очередь Бамбаев.

-- Шпион, шпион! -- твердила Суханчикова.

-- Нет, нет! Вот Тентелеев, это другое дело! -- заревел Бамбаев уже во все горло.

Суханчикова мгновенно умолкла.

-- Про этого барина я достоверно знаю, -- продолжал он обыкновенным своим голосом, -- что когда Третье отделение его вызывало, он у графини Блазенкрампф в ногах ползал и все пищал: "Спасите, заступитесь!" А Пеликанов никогда до такой подлости не унижался.

-- Мм... Тентелеев... -- проворчал Губарев, -- это... это заметить надо.

Суханчикова презрительно пожала плечом.

-- Оба хороши, -- заговорила она, -- но только я про Тентелеева еще лучше анекдот знаю. Он, как всем известно, -- был ужаснейший тиран со своими людьми, хотя тоже выдавал себя за эманципатора. Вот он раз в Париже сидит у знакомых, и вдруг входит мадам Бичер-Стоу, -- ну, вы знаете, "Хижина дяди Тома". Тентелеев, человек ужасно чванливый, стал просить хозяина

представить его; но та, как только услыхала его фамилию: "Как? -- говорит, -- сметь знакомиться с автором Дяди Тома? -- Да хлоп его по щеке!-- Вон! -- говорит, -- сейчас!" И что ж вы думаете? Тентелеев взял шляпу, да, поджавши хвост, и улизнул.

-- Ну, это, мне кажется, преувеличено, -- заметил Бамбаев. -- "Вон!" она ему, точно, сказала, это факт; но пощечины она ему не дала.

-- Дала пощечину, дала пощечину! -- с судорожным напряжением повторила Суханчикова, -- я не стану пустяков говорить. И с такими людьми вы приятель!

-- Позвольте, позвольте, Матрена Семеновна, я никогда не выдавал Тентелеева за близкого мне человека; я про Пеликанова говорил.

-- Ну, не Тентелеев, так другой: Михнев, например.

-- Что же этот такое сделал? -- спросил Бамбаев, уже заранее оробев.

-- Что? Будто вы не знаете? На Вознесенском проспекте всенародно кричал, что надо, мол, всех либералов в тюрьму; а то еще к нему приходит старый пансионский товарищ, бедный, разумеется, и говорит: "Можно у тебя пообедать?" А тот ему в ответ: "Нет, нельзя; у меня два графа сегодня обедают... п'шол прочь!" -- Да это клевета, помилуйте! -- возопил Бамбаев. -- Клевета?.. клевета? Во-первых, князь Вахрушкин, который тоже обедал у вашего Михнева... -- Князь Вахрушкин, -- строго вмешался Губарев, мне двоюродный брат; но я его к себе не пускаю... Ну, и упоминать о нем, стало быть, нечего. -- Во-вторых, -- продолжала Суханчикова, покорно наклонив голову в сторону Губарева, -- мне сама Прасковья Яковлевна сказала. -- Нашли на кого сослаться! Она да вот еще Саркизов -- это первые выдумщики.

-- Ну-с, извините; Саркизов лгун, точно; он же с мертвого отца парчовой покров стащил, об этом я спорить никогда не стану; но Прасковья Яковлевна, какое сравненье! Вспомните, как она благородно с мужем разошлась! Но вы, я знаю, вы всегда готовы...

-- Ну полноте, полноте, Матрена Семеновна, -- перебил ее Бамбаев. -- Бросимте эти дрязги и воспаримте-ка в горния. Я ведь старого закала кочерга. Читали вы "Mademoiselle de la Quintinie?" Вот прелесть-то! И с принципами вашими в самый раз!

-- Я романов больше не читаю, -- сухо и резко отвечала Суханчикова.

-- Отчего?

-- Оттого что теперь не то время; у меня теперь одно в голове: швейные машины.

-- Какие машины? -- спросил Литвинов.

-- Швейные, швейные; надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества; этак они все будут хлеб себе зарабатывать и вдруг независимы станут. Иначе они никак освободиться не могут. Это важный, важный социальный вопрос. У нас такой об этом был спор с Болеслав Стадницким. Болеслав Стадницкий чудная натура, но смотрит на эти вещи ужасно легкомысленно. Все смеется... Дурак!

-- Все будут в свое время потребованы к отчету, со всех взыщется, -- медленно, не то наставническим, не те пророческим тоном произнес Губарев.

-- Да, да, -- повторил Бамбаев, -- взыщется, именно, взыщется. А что, Степан Николаич, -- прибавил он, понизив голос, -- сочинение подвигается?

-- Материалы собираю, -- отвечал, насупившись,

Губарев и, обратившись к Литвинову, у которого голова начинала ходить кругом от этой яичницы незнакомых ему имен, от этого бешенства сплетни, спросил его: чем он занимается?

Литвинов удовлетворил его любопытству.

-- А! Значит, естественными науками. Это полезно как школа; как школа, не как цель. Цель теперь должна быть... мм... должна быть... другая. Вы, позвольте узнать, каких придерживаетесь мнений?

-- Каких мнений?

-- Да, то есть, собственно, какие ваши политические убеждения?

Литвинов улыбнулся.

-- Собственно, у меня нет никаких политических убеждений.

Плотный человек, сидевший в углу, при этих словах внезапно подняд голову и внимательно посмотрел на Литвинова.

-- Что так? -- промолвил со странною кротостью Губарев. -- Не вдумались еще или уже устали?

-- Как вам сказать? Мне кажется, нам, русским, еще рано иметь политические убеждения или воображать, что мы их имеем. Заметьте, что я придаю слову "политический" то значение, которое принадлежит ему по праву, и что.

-- Ага! из недозрелых, -- с тою же кротостью перебил его Губарев и, подойдя к Ворошилову, спросил его: прочел ли он брошюру, которую он ему дал?

Ворошилов, который, к удивлеиию Литвинова, с самого своего прихода словечка не проронил, а только хмурился и значительно поводил глазами (он вообще либо ораторствовал, либо молчал), -- Ворошилов выпятил по-военному грудь и, щелкнув каблуками, кивнул утвердительно головой.

-- Ну, и что ж? Остались довольны?

-- Что касается до главных оснований, доволен; но с выводами не согласен.

-- Ммм... Андрей Иваныч мне, однако, хвалил эту брошюру. Вы мне потом изложите ваши сомнения.

-- Прикажете письменно?

Губарев, видимо, удивился: он этого не ожидал; однако, подумав немного, промолвил:

-- Да, письменно. Кстати, я вас попрошу изложить мне также свои соображения... насчет... насчет ассоциаций.

-- По методе Лассаля прикажете или Шульце-Делича?

-- Ммм... по обеим. Тут, понимаете, для нас, русских, особенно важна финансовая сторона. Ну, и артель... как зерно. Все это нужно принять к сведению. Вникнуть надо. Вот и вопрос о крестьянском наделе...

-- А вы, Степан Николаич, какого мнения насчет количества следуемых десятин? -- с почтительною деликатностью в голосе спросил Ворошилов.

-- Эмм... А община? -- глубокомысленно произнес Губарев и, прикусив клок бороды, уставился на ножку стола. -- Община... Понимаете ли вы? Это великое слово! Потом, что значат эти пожары... эти... эти правительственные меры против воскресных школ, читален, журналов? А несогласие крестьяи подписывать уставные грамоты? И, наконец, то, что происходит в Польше? Разве вы не видите, к чему это все ведет? Разве вы не видите, что... мы... что нам.... нам нужно теперь слиться с народом, узнать... узнать его мнение? -- Губаревым внезапно овладело какое-то тяжелое, почти злобное волнение; он даже побурел в лице и усиленно дышал, но все не поднимал глаз и продолжал жевать бороду. Разве вы не видите...

-- Евсеев подлец! -- брякнула вдруг Gуханчикова, которой Бамбаев, из уважения к хозяину, рассказывал что-то вполголоса. Губарев круто повернул на каблуках и опять заковылял по комнате.

Стали появляться новые посетители; под конец вечера набралось довольно много народу. В числе их пришел и господин Евсеев, так жестоко обозванный Суханчиковой, -- она очень дружелюбно с ним разговаривала и попросила его провести ее домой; пришел некто Пищалкин, идеальный мировой посредник, человек из числа тех людей, в которых, может быть, точно нуждается Россия, а именно -- ограниченный, мало знающий и бездарный, но добросовестный, терпеливый и честный; крестьяне его участка чуть не молились на него, и он сам весьма почтительно обходился с самим собою, как с существом, истинно достойным уважения. Пришло несколько офицерчиков, выскочивших на коротенький отпуск в Европу и обрадовавшихся случаю, конечно, осторожно и не выпуская из головы задней мысли о полковом командире, побаловаться с умными и немножко даже опасными людьми; прибежали двое жиденьких студентиков из Гейдельберга -- один все презрительно оглядывался, другой хохотал судорожно... обоим было очень неловко; вслед за ними втерся французик, так называемый п' ти женом грязненький, бедненький, глупенький... он славился между своими товарищами, коммивояжерами, тем, что в него влюблялись русские графини, сам же он больше помышлял о даровом ужине; явился, наконец, Тит Биндасов, с виду шумный бурш, а в сущности, кулак и выжига, по речам террорист, по призванию квартальный, друг российских купчих и парижских лореток, лысый, беззубый, пьяный; явился он весьма красный и дрянной, уверяя, что спустил последнюю копейку этому "шельмецу Беназету", а на деле он выиграл шестнадцать гульденов...

Словом, много набралось народу. Замечательно, поистине замечательно было то уважение, с которым все посетители обращались к Губареву как наставнику или главе;они излагали ему свои сомнения, повергали их на его суд; а он отвечал... мычанием, подергиванием бороды, вращением глаз или отрывочными, незначительными словами, которые тотчас же подхватывались на лету, как изречения самой высокой мудрости. Сам Губарев редко вмешивался в прения; зато другие усердно надсаживали грудь. Случалось не раз, что трое, четверо кричали вместе в течение десяти минут, и все были довольны и понимали. Беседа продолжалась за полночь и отличалась, как водится, обилием и разнообразием предметов. Суханчикова говорила о Гарибальди, о каком-то Карле Ивановиче, которого высекли его собственные дворовые, о Наполеоне III, о женском труде, о купце Плескачеве, заведомо уморившем двенадцать работниц и получившем за это медаль с

надписью "за полезное", о пролетариате, о грузинском князе Чукчеулидзеве, застрелившем жену из пушки, и о будущности России; Пищалкин говорил тоже о будущности России, об откупе, о значении национальностей и о том, что он больше всего ненавидит пошлое; Ворошилова вдруг прорвало: единым духом, чуть не захлебываясь, он назвал Дрепера, Фирхова, г-на Шелгунова, Биша, Гельмгольца, Стара, Стура, Реймонта, Иоганна Миллера -- физиолога, Иоганна Миллера -- историка, очевидно смешивая их, Тэна, Ренана, г-на Щапова, а потом Томаса Наша, Пиля, Грина... "Это что же за птицы?" -- с изумлением пробормотал Бамбаев. "Предшественники Шекспира, относящиеся к нему, как отроги Альп к Монблану!" -- хлестко отвечал Ворошилов и также коснулся будущности России. Бамбаев тоже поговорил о будущности России и даже расписал ее в радужных красках, но в особенный восторг привела его мысль о русской музыке, в которой он видел что-то "ух! большое" и в доказательство затянул романс Варламова, но скоро был прерван общим криком, что: "он, мол, поет Miserere из "Траватора" и прескверно поет". Один офицерчик под шумок ругнул русскую литературу, другой привел стишки из "Искры", а Тит Биндасов поступил еще проще: объявил, что всем бы этим мошенникам зубы надо повышибать -- и баста! не определяя, впрочем, кто, собственно, были эти мошенники. Дым от сигар стоял удушливый; всем было жарко и томно, все охрипли, у всех глаза посоловели, пот лил градом с каждого лица. Бутылки холодного пива появлялись и опоражнивались мгновенно. "Что бишь я такое говорил?" -- твердил один; "Да с кем же я сейчас спорил и о чем?" -- спрашивал другой. И среди всего этого гама и чада, по-прежнему переваливаясь и шевеля в бороде, без устали расхаживал Губарев и то прислушивался, приникая ухом, к чьему-нибудь рассуждению, то вставлял свое слово, и всякий невольно чувствовал, что он-то, Губарев, всему матка и есть, что он здесь и хозяин, и первенствующее лицо...

У Литвинова часам к десяти сильно разболелась голова, и он ушел потихоньку и незаметно, воспользовавшись усиленным взрывом всеобщего крика: Суханчикова вспомнила новую несправедливость князя Барнаулова -- чуть ли не приказал он кому-то ухо откусить. Свежий ночной воздух ласково прильнул к воспаленному лицу Литвинова, влился пахучею струей в его засохшие губы. "Что это, -- думал он, идя по темной аллее, -- при чем это я присутствовал? Зачем они собрались? Зачем кричали, бранились, из кожи лезли? К чему все это?" Литвинов пожал плечами и отправился к Веберу, взял газету и спросил себе мороженого. В газете толковалось о римском вопросе, а мороженое оказалось скверным. Он уже собирался идти домой, как вдруг к нему подошел незнакомый человек в шляпе с широкими полями и, проговорив по-русски: "Я вас не беспокою?" -- присел за его столик. Тут только Литвинов, вглядевшись попристальнее в незнакомца, узнал в нем того плотного господина, который забился в уголок у Губарева и с таким вниманием окинул его глазами, когда речь зашла о политических убеждениях. В течение всего вечера господин этот не разевал рта, а теперь, подсев к Литвинову и сняв шляпу, глядел на него дружелюбным и несколько смущенным взглядом.

V

-- Господин Губарев, у которого я имел удовольствие вас видеть сегодня, -- начал он, -- меня вам не отрекомендовал; так уж, если вы позволите, я сам себя рекомендую: Потугин, отставной надворный советник, служил в министерстве финансов, в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что вы не найдете странным... я вообще не имею привычки так внезапно знакомиться... но с вами...

Тут Потугин замялся и попросил кельнера принести ему рюмочку киршвассера. "Для храбрости", -- прибавил он с улыбкой.

Литвинов с удвоенным вниманием посмотрел на это последнее изо всех тех новых лиц, с которыми ему в тот день пришлось столкнуться, и тотчас же подумал: "Этот не то, что те".

Действительно, не то. Пред ним сидел, перебирая по краю стола тонкими ручками, человек широкоплечий, с просторным туловищем на коротких ногах, с понурою курчавою головой, с очень умными и очень печальными глазками под густыми бровями, с крупным правильным ртом, нехорошими зубами и тем чисто русским носом, которому присвоено название картофеля; человек с виду неловкий и даже диковатый, но уже, наверное, недюжинный. Одет он был небрежно: старомодный сюртук сидел на нем мешком, и галстук сбился на сторону. Его внезапная доверчивость не только не показалась Литвинову назойливостью, но, напротив, втайне ему польстила: нельзя было не видеть, что за этим человеком не водилось привычки навязываться незнакомым. Странное впечатление произвел он на Литвинова: он возбуждал в нем и уважение, и сочувствие, и какое-то невольное сожаление.

-- Так я не беспокою вас? -- повторил он мягким, немного сиплым и слабым голосом, который как нельзя лучше шел ко всей его фигуре.

-- Помилуйте, -- возразил Литвинов, -- я, напротив, очень рад.

-- В самом деле? Ну, так и я рад. Я слышал об вас много; я знаю, чем вы занимаетесь и какие ваши намерения. Дело хорошее. То-то вы и молчали сегодня.

-- Да и вы, кажется, говорили мало, -- заметил Литвинов.

Потугин вздохнул.

-- Другие уж больно много рассуждали-с. Я слушал. Ну что, -- прибавил он, помолчав немного и как-то забавно уставив брови, -- понравилось вам наше Вавилонское столпотворение?

-- Именно столпотворение. Вы прекрасно сказали. Мне все хотелось спросить у этих господ, из чего они так хлопочут?

Потугин опять вздохнул.

-- В том-то и штука что они и сами этого не ведают-с. В прежние времена про них бы так выразились: "Они, мол, слепые орудия высших целей; ну, а теперь мы употребляем более резкие эпитеты. И заметьте, что, собственно, я нисколько не намерен обвинять их; скажу более, они все... то есть почти все, прекрасные люди. Про госпожу Суханчикову я, например, наверно знаю очень много хорошего: она последние свои деньги отдала двум бедным племянницам. Положим, тут действовало желание пощеголять, порисоваться, но согласитесь, замечательное самоотвержение в женщине, которая сама небогата! Про господина Пищалкина и говорить нечего; ему непременно, со временем, крестьяне его участка поднесут серебряный кубок в виде арбуза, а может быть, и икону с изображением его ангела, и хотя он им скажет в своей благодарственной речи, что он не заслуживает подобной чести, но это он неправду скажет: он ее заслуживает. У господина Бамбаева, вашего приятеля, сердце чудное; правда, у него, как у поэта Языкова, который, говорят, воспевал разгул, сидя за книгой и кушая воду, -- восторг, собственно, ни на что не обращенный, но все же восторг; и господин Ворошилов тоже добрейший; он, как все люди его школы, люди золотой доски, точно на ординарцы прислан к науке, к цивилизации, и даже молчит

фразисто, но он еще так молод! Да, да, все это люди отличные, а в результате ничего не выходит; припасы первый сорт, а блюдо хоть в рот не бери.

Литвинов с возрастающим удивлением слушал Потугина: все приемы, все обороты его неторопливой, но самоуверенной речи изобличали и уменье и охоту говорить. Потугин, точно, и любил и умел говорить; но как человек, из которого жизнь уже успела повытравить самолюбие, он с философическим спокойствием ждал случая, встречи по сердцу.

-- Да, да, -- начал он снова, с особым, ему свойственным, не болезненным, но унылым юмором, -- это все очень, странно-с. И вот еще что прошу заметить. Сойдется, например, десять англичан, они тотчас заговорят о подводном телеграфе, о налоге на бумагу, о способе выделывать, крысьи шкуры, то есть о чем-нибудь положительном, определенном;сойдется десять немцев, ну, тут, разумеется, Шлезвиг-Гольштейн и единство Германии явятся на сцену; десять французов сойдется, беседа неизбежно коснется "клубнички", как они там ни виляй; а сойдется десять русских, мгновенно возникает вопрос, -- вы имели случай сегодня в том убедиться, -- вопрос о значении, о будущности России, да в таких общих чертах, от яиц Леды, бездоказательно, безвыходно. Жуют, жуют они этот несчастный вопрос, словно дети кусок гуммиластика: ни соку, ни толку. Ну, и конечно, тут же, кстати, достанется и гнилому Западу. Экая притча, подумаешь! Бьет он нас на всех пунктах, этот Запад, -- а гнил! И хоть бы мы действительно его презирали, -- продолжал Потугин, -- а то ведь это все фраза и ложь. Ругать-то мы его ругаем, а только его мнением и дорожим, то есть, в сущности, мнением парижских лоботрясов. У меня есть знакомый, и хороший, кажется, человек, отец семейства, уже немолодой; так тот несколько дней в унынии находился оттого, что в парижском ресторане спросил себе une portion de biftek aux pommes de terre, а настоящий француз тут же крикнул: "Garcon!biftek pommes!" Сгорел мой приятель от стыда! И потом везде кричал: "Biftek pommes!" -- и других учил. Самые даже лоретки удивляются благоговейному трепету, с которым наши молодые степняки входят в их позорную гостиную... боже мой! думают они, ведь это где я? У самой Annah deslions!!

-- Скажите, пожалуйста, -- спросил Литвинов, -- чему вы приписываете несомненное влияние Губарева на всех его окружающих? Не дарованиям, не способностям же его?

-- Нет-с, нет-с; у него этого ничего не имеется...

-- Так характеру, что ли?

-- И этого нет-с, а у него много воли-с. Мы, славяне, вообще, как известно, этим добром не богаты и перед ним пасуем. Господин Губарев захотел быть начальником, и все его начальником признали. Что прикажете делать?! Правительство освободило нас от крепостной зависимости, спасибо ему; но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает большею частью живой субъект, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет... теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу записались... Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу, это дело темное; такая уж, видно, наша натура. Но главное дело, чтоб был у нас барин. Ну, вот он и есть у нас; это, значит, наш, а на все остальное мы наплевать! Чисто холопы! И гордость холопская, и холопское уничижение. Новый барин народился -- старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору! Вспомните, какие в этом роде происходили у нас проделки! Мы толкуем об отрицании как об отличительном нашем свойстве; но и отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, а как лакей, лупящий кулаком, да еще, пожалуй, и лупит-то он по господскому приказу. Ну-с, а народ мы тоже мягкий; в

руки нас взять не мудрено. Вот таким-то образом и господин Губарев попал в барья; долбил-долбил в одну точку и продолбился. Видят люди: большого мнения о себе человек, верит в себя, приказывает -- главное, приказывает; стало быть, он прав и слушаться его надо. Все наши расколы, наши Онуфриевщины да Акулиновщины именно так и основались. Кто палку взял, тот и капрал. У Потугина покраснели щеки и глаза потускнели; но -- странное дело! -- речь его, горькая и даже злая, не отзывалась желчью, а скорее печалью, и правдивою, искреннею печалью.

-- Вы как с Губаревым познакомились? -- спросил Литвинов.

-- Я его давно знаю-с. И заметьте, какая у нас опять странность: иной, например, сочинитель, что ли, весь свой век и стихами и прозой бранил пьянство, откуп укорял... да вдруг сам взял да два винные завода купил и снял сотню кабаков -- и ничего! Другого бы с лица земли стерли, а его даже не упрекают. Вот и господин Губарев: он и славянофил, и демократ, и социалист, и все что угодно, а именьем его управлял и теперь еще управляет брат, хозяин в старом вкусе, из тех, что дантистами величали. И та же госпожа Суханчикова, которая заставляет госпожу Бичер-Стоу бить по щепам Тентелеева, перед Губаревым чуть не ползает. А ведь только за ним и есть, что он умные книжки читает да все в глубину устремляется. Какой у него дар слова, вы сегодня сами судить могли; и это еще слава богу, что он мало говорит, все только ежится. Потому что когда он в духе да нараспашку, так даже мне, терпеливому человеку, невмочь становится. Начнет подтрунивать да грязные анекдотцы рассказывать, да, да, наш великий господин Губарев рассказывает грязные анекдоты и так мерзко смеется при этом...

-- Будто вы так терпеливы? -- промолвил Литвинов. Я, напротив, полагал... Но позвольте узнать, как ваше имя и отчество?

Потугин отхлебнул немного киршвассеру.

-- Меня зовут Созонтом... Созонтом Иванычем. Дали мне это прекрасное имя в честь родственника, архимандрита, которому я только этим и обязан. Я, если смею так выразиться, священнического поколения. А что вы насчет терпенья сомневаетесь, так это напрасно: я терпелив. Я двадцать два года под начальством родного дядюшки, действительного статского советника Иринарха Потугина, прослужил. Вы его не изволили знать?

-- Нет.

-- С чем вас поздравляю. Нет, я терпелив. Но "возвратимся на первое", как говорит почтенный мой собрат, сожженный протопоп Аввакум. Удивляюсь я, милостивый государь, своим соотечественникам. Все унывают, все повесивши нос ходят, и в то же время все исполнены надеждой и чуть что, так на стену и лезут. Воть хоть бы славянофилы, к которым господин Губарев себя причисляет: прекраснейшие люди, а та же смесь отчаяния и задора, тоже живут буквой "буки". Все, мол, будет, будет. В наличности ничего нет, и Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле... Но постойте, потерпите: все будет. А почему будет, позвольте полюбопытствовать? А потому, что мы, мол, образованные люди, дрянь; но народ... о, это великий народ!Видите этот армяк? вот откуда все пойдет. Все другие идолы разрушены; будемте же верить в армяк. Ну, а коли армяк выдаст? Нет, он не выдаст, прочтите Кохановскую, и очи в потолоки! Право, если б я был живописцем, вот бы я какую картину написал: образованный человек стоит перед мужиком и кланяется ему низко: вылечи, мол, меня, батюшка-мужичок, я пропадаю от болести;а мужик в свою очередь низко кланяется образованному человеку: научи, мол, меня, батюшка -барин, я пропадаю от темноты.

Ну, и, разумеется, оба ни с места. А стоило бы только действительно смириться -- не на одних словах -- да попризанять у старших братьев, что они придумали и лучше нас и прежде нас! Кельнер, нох эйн глэзхен кирш! Вы не думайте, что я пьяница, но алкоголь развязывает мне язык.

-- После того, что вы сейчас сказали, -- промолвил с улыбкой Литвинов, -- мне нечего и спрашивать, к какой вы принадлежите партии и какого мнения вы о Европе. Но позвольте мне сделать вам одно замечание. Вот вы говорите, что нам следует занимать, перенимать у наших старших братьев; но как же возможно перенимать, не соображаясь с условиями климата, почвы, с местными, с народными особенностями? Отец мой, помнится, выписал от Бутенопов чугунную, отлично зарекомендованную веялку; веялка эта, точно, была очень хороша -- и что же? Она целых пять лет простояла в сарае безо всякой пользы, пока ее не заменила деревянная американская -- гораздо более подходящая к нашему быту и к нашим привычкам, как вообще все американские машины. Нельзя, Созонт Иванович, перенимать зря.

Потугин приподнял голову.

-- Не ожидал я от вас такого возражения, почтеннейший Григорий Михайлович, -- начал он погодя немного. Кто же вас заставляет перенимать зря? Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно: стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатов -- так вы не извольте беспокоиться: своеобразность в них будет в силу самых этих местных, климатических и прочих условий, о которых вы упоминаете. Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудок ее переварит по-своему; и со временем, когда организм окрепнет, он даст свой сок. Возьмите пример хоть с нашего языка. Петр Великий наводнил его тысячами чужеземных слов, голландских, французских, немецких: слова эти выражали понятия, с которыми нужно было познакомить русский народ; не мудрствуя и не церемонясь.. Петр вливал эти слова целиком, ушатами, бочками в нашу утробу. Сперва -- точно, вышло нечто чудовищное, а потом -- началось именно то перевариванье, о котором я вам докладывал. Понятия привились и усвоились; чужие формы постепенно испарились, язык в собственных недрах нашел чем их заменить -- и теперь ваш покорный слуга, стилист весьма посредственный, берется перевести любую страницу из Гегеля... да-с, да-с, из Гегеля... не употребив ни одного неславянского слова. Что произошло с языком, то, должно надеяться, произойдет и в других сферах. Весь вопрос в том -- крепка ли натура? а наша натура -- ничего, выдержит:-не в таких была передрягах. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные больные да слабые народы; точно так же как восторгаться до пены у рта тому, что мы, мол, русские, -- способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своем здоровье, но в восторг от него не прихожу: совестно-с.

-- Все так, Созонт Иваныч, -- заговорил в свою очередь Литвинов, -- но зачем же непременно подвергать нас подобным испытаниям? Сами ж вы говорите, что сначала вышло нечто чудовищное! Ну -- а коли это чудовищное так бы и осталось? Да оно и осталось, вы сами знаете.

-- Только не в языке -- а уж это много значит! А наш народ не я делал;не я виноват, что ему суждено проходить через такую школу. "Немцы правильно развивались, кричат славянофилы, -- подавайте и нам правильное развитие!" Да где ж его взять, когда самый первый исторический поступок нашего племени -- призвание себе князей из-за моря -- есть уже неправильность, ненормальность, которая повторяется на каждом из нас до сих пор;каждый из нас, хоть раз в жизни, непременно чему-нибудь чужому, не русскому сказал: "Иди владети и княжити надо мною!" Я, пожалуй, готов согласиться, что, вкладывая иностранную суть в собственное тело, мы никак не можем наверное знать наперед, что такое мы вкладываем: кусок хлеба или кусок яда? Да ведь известное дело: от худого к хорошему никогда не идешь через лучшее, а всегда через

худшее, -- и яд в медицине бывает полезен. Одним только тупицам или пройдохам прилично указывать с торжеством на бедность крестьян после освобождения, на усиленное их пьянство после уничтожения откупов... Через худшее к хорошему!

Потугин провел рукой по лицу.

-- Вы спрашивали меня, какого я мнения о Европе, начал он опять, -- я удивляюсь ей и предан ее началам до чрезвычайности и нисколько не считаю нужным это скрывать. Я давно... нет, недавно... с некоторых пор, перестал бояться высказывать свои убеждения... Ведь вот и вы не усомнились заявить господину Губареву свой образ мыслей. Я, слава богу, перестал соображаться с понятиями, воззрениями, привычками человека, с которым беседую. В сущности, я ничего не знаю хуже той ненужной трусости, той подленькой угодливости, в силу которой, посмотришь, иной важный сановник у нас подделывается к ничтожному в его глазах студентику, чуть не заигрывает с ним, зайцем к нему забегает. Ну, положим, сановник так поступает из желания популярности, а нашему брату, разночинцу, из чего вилять? Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, -- цивилизации, -- да, да, это слово еще лучше, -- и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово: ци... ви... ли... зация (Потугин отчетливо, с ударением произнес каждый слог) -- и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут... бог с ними!

-- Ну, а Россию, Созонт Иваныч, свою родину, вы любите?

Потугин провел рукой по лицу.

-- Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу.

Литвинов пожал плечами.

-- Это старо, Созонт Иваныч, это общее место.

-- Так что же такое? Что за беда? Вот чего испугались! Общее место! Я знаю много хороших общих мест. Да вот, например: свобода и порядок -- известное общее место. Что ж, по-вашему, лучше, как у нас: чиноначалие и безурядица? И притом, разве все эти фразы, от которых так много пьянеет молодых голов: презренная буржуазия, souverainite du peuple, право на работу, -- разве они тоже не общие места? А что до любви, неразлучной с ненавистью.

-- Байроновщина, -- перебил Литвинов, -- романтизм тридцатых годов.

-- Вы ошибаетесь, извините-с; первый указал на подобное смешение чувств Катулл, римский поэт Катулл две тысячи лет тому назад. Я это у него вычитал, потому что несколько знаю по-латыни, вследствие моего, если смею так выразиться, духовного происхождения. Да-с; я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вот ее покинул: нужно было проветриться немного после двадцатилетнего сидения за казенным столом, в казенном здании; я покинул Россию, и здесь мне очень приятно и весело; но я скоро назад поеду, я это чувствую. Хороша садовая земля... да не расти на ней морошке!

-- Вам весело, вам приятно, и мне здесь хорошо, -- сказал Литвинов, -- и я сюда учиться приехал; но это не мешает мне видеть хоть бы вот подобные штучки... -- Он указал на двух проходивших лореток, около которых кривлялось и картавило несколько членов Жокей-клуба, и на игорную залу, набитую битком, несмотря на позднее время дня.

-- Да кто же вам сказал, что и я слеп на это? -- подхватил Потугин. -- Только, извините меня, ваше замечание напоминает мне торжествующие указания наших несчастных журнальцев во время Крымской кампании на недостатки английского военного управления, разоблаченные "Тэймсом". Я сам не оптимист, и все человеческое, вся наша жизнь, вся эта комедия с трагическим концом не представляется мне в розовом свете; но зачем навязывать именно Западу то, что, быть может, коренится в самой нашей человеческой сути? Этот игорный дом безобразен, точно; ну, а доморощенное наше шулерство небось красивее? Нет, любезнейший Григорий Михайлович, будемте посмирнее да потише: хороший ученик видит ошибки своего учителя, но молчит о них почтительно; ибо самые эти ошибки служат ему в пользу и наставляют его на прямой путь. А если вам непременно хочется почесать зубки насчет гнилого Запада, то вот бежит рысцой князь Коко;он, вероятно, спустил в четверть часа за зеленым столом трудовой, вымученный оброк полутораста семейств, нервы его раздражены, притом я видел, он сегодня у Маркса перелистывал брошюру Вельйо... Отличный вам будет собеседник!

-- Да позвольте, позвольте, -- поспешно проговорил Литвинов, видя, что Потугин приподнимается с места. Я князя Коко знаю очень мало и, уж конечно, предпочитаю беседу с вами...

-- Очень вам благодарен, -- перебил его Потугин, вставая и раскланиваясь, -- но я уже так-таки многонько беседовал с вами, то есть, собственно, говорил я один, а вы, вероятно, сами по себе заметили, что человеку всегда как-то совестно и неловко становится, когда он много наговорит -- один. Особенно так, с первого раза: вот, мол, я каков, посмотри! До приятного свиданья... А я, повторяю, очень рад моему знакомству с вами.

-- Да постойте, Созонт Иваныч, скажите, по крайней мере, где вы живете и долго ли здесь намерены остаться?

Потугина как будто слегка покоробило.

-- С неделю я еще останусь в Бадене, а впрочем, мы можем сходиться вот тут, у Вебера или у Маркса. А не то я к вам зайду.

-- Все-таки мне нужно знать ваш адрес.

-- Да. Но вот что: я не один.

-- Вы женаты? -- внезапно спросил Литвинов.

-- Нет, помилуйте... зачем так несообразно говорить?.. Но со мной девица.

-- А! -- с вежливою ужимкой, как бы извиняясь, промолвил Литвинов и потупил глаза.

-- Ей всего шесть лет, -- продолжал Потугин. -- Она сирота... дочь одной дамы... одной моей хорошей знакомой. Уж мы лучше будем сходиться здесь. Прощайте-с.

Он нахлобучил шляпу на свою курчавую голову и быстро удалился, мелькнув раза два под газовыми рожками, довольно скупо освещающими дорогу, ведущую к Лихтенталевской аллее.

"Странный человек! -- думал Литвинов, направляясь к гостинице, в которой остановился. Странный человек! Надо будет отыскать его". Он вошел в свою комнату: письмо на столе бросилось ему в глаза. "А! от Тани!" -- подумал он и заранее обрадовался; но письмо было из деревни, от отца. Литвинов сломил крупную гербовую печать и принялся было читать... Сильный, очень приятный и знакомый запах поразил его. Он оглянулся и увидел на окне в стакане воды большой букет свежих гелиотропов. Литвинов нагнулся к ним не без удивления, потрогал их, понюхал... Что-то как будто вспомнилось ему, что-то весьма отдаленное... но что именно, он не мог придумать. Он позвонил слугу и спросил его: откуда взялись эти цветы?

Слуга отвечал, что их принесла дама, которая не хотела назваться, но сказала, что он, мол, "герр Злуитенгоф", по самым этим цветам непременно должен догадаться, кто она такая. Литвинову опять как будто что-то вспомнилось... Он спросил у слуги: какой наружности была дама? Слуга объяснил, что она была высокого роста и прекрасно одета, а на лице имела вуаль.

-- Вероятно, русская графиня, -- прибавил он.

-- Почему вы так полагаете? -- спросил Литвинов.

-- Она мне дала два гульдена, -- ответил слуга и осклабился.

Литвинов услал его и долго потом стоял в раздумье перед окном; наконец, однако, махнул рукой и снова принялся за письмо из деревни. Отец изливал в нем свои обычные жалобы, уверял, что хлеба никто даже даром не берет, что люди вышли вовсе из повиновения и что, вероятно, скоро наступит конец света. "Вообрази ты себе, -- писал он между прочим, -- последнего моего кучера, калмычонка, помнишь? испортили, и непременно так бы и пропал человек, и ездить было бы не с кем, да, спасибо, добрые люди надоумили и посоветовали отослать больного в Рязань к священнику, известному мастеру против порчи; и лечение действительно удалось как нельзя лучше, в подтверждение чего прилагаю письмо самого батюшки, яко документ". Литвинов с любопытством пробежал этот документ. В нем обозначалось, что "дворовый человек Никанор Дмитриев был одержим болезнию, по медицинской части недоступною; и эта болезнь зависящая от злых людей; а причиной он сам, Никанор, ибо свое обещание перед некою девицей не сполнил, а потому она через людей сделала его никуда не способным, и если б не я в этих обстоятельствах объявился ему помощником, то он должен был совершенно погибнуть, как червь капустная; но аз, надеясь на всевидящее око, сделался ему подпорой в его жизни; а как я оное совершил, сне есть тайна; а ваше благородие прошу, чтоб оной девице впредь такими злыми качествами не заниматься и даже пригрозить не мешает, а то она опять может над ним злодействовать". Задумался Литвинов над этим документом; повеяло на него степною глубью, слепым мраком заплесневшей жизни, и чудно показалось ему, что он прочел это письмо именно в Бадене. Между тем полночь уже давно пробила; Литвинов лег в постель и задул свечу.

Но он не мог заснуть: виденные им лица, слышанные им речи то и дело вертелись и кружились, странно сплетаясь и путаясь в его горячей, от табачного дыма разболевшейся голове. То чудилось ему мычанье Губарева и представлялись его вниз устремленные глаза с их тупым и упрямым взглядом; то вдруг эти самые глаза разгорались и прыгали, и он узнавал Суханчикову, слышал ее трескучий голос и невольно, шепотом, повторял за нею: "Дала, дала пощечину"; то выдвигалась перед ним нескладная фигура Потугина, и он в десятый, в двадцатый раз припоминал каждое его слово; то, как куколка из табакерки, выскакивал Ворошилов в своем общелкнутом пальто,

сидевшем на нем, как новый мундирчик, и Пищалкин мудро и важно кивал отлично выстриженною и действительно благонамеренною головой; а там Биндасов гаркал и ругался, и Бамбаев восторгался слезливо... А главное: этот запах, неотступный, неотвязный, сладкий, тяжелый запах не давал ему покоя, и все сильней и сильней разливался в темноте, и все настойчивее напоминал ему что-то, чего он никак уловить не мог... Литвинову пришло в голову, что запах цветов вреден для здоровья ночью в спальне, и он встал, ощупью добрел до букета и вынес его в соседнюю комнату; но и оттуда проникал к нему в подушку, под одеяло, томительный запах, и он тоскливо переворачивался с боку на бок. Уже лихорадка начинала подкрадываться к нему; уже священник, "мастер против порчи", два раза в виде очень прыткого зайца с бородой и косичкой перебежал ему дорогу, и, сидя в огромном генеральском султане, как в кусте, соловьем защелкал над ним Ворошилов... как вдруг он приподнялся с постели и, всплеснув руками, воскликнул: "Неужели она, не может быть!"

Но для того, чтоб объяснить это восклицание Литвинова, мы должны попросить снисходительного читателя вернуться с нами за несколько лет назад...

VII

В начале пятидесятых годов проживало в Москве, в весьма стесненных обстоятельствах, чуть не в бедности, многочисленное семейство князей Осининых. То были настоящие, не татаро-грузинские, а чистокровные князья, Рюриковичи; имя их часто встречается в наших летописях при первых московских великих князьях, русской земли собирателях; они владели обширными вотчинами и многими поместьями, неоднократно были жалованы за "работы и кровь и увечья", заседали в думе боярской, один из них даже писался с "вичем"; но попали в опалу по вражьему наговору в "ведунстве и кореньях"; их разорили "странно и всеконечно", отобрали у них честь, сослали их в места заглазные; рухнули Осинины и уже не справились, не вошли снова в силу; опалу с них сняли со временем и даже "московский дворишко" и "рухлядишку" возвратили, но ничто не помогло. Забеднял, "захудал" их род -- не поднялся ни при Петре, ни при Екатерине и, все мельчая и понижаясь, считал уже частных управляющих, начальников винных контор и квартальных надзирателей в числе своих членов. Семейство Осининых, о котором у нас зашла речь, состояло из мужа, жены и пяти человек детей. Проживало оно около Собачьей площадки, в одноэтажном деревянном домике, с полосатым парадным крылечком на улицу, зелеными львами на воротах и прочими дворянскими затеями, и едва-едва сводило концы с концами, должая в овощную лавочку и частенько сидя без дров и без свеч по зимам. Сам князь был человек вялый и глуповатый, некогда красавец и франт, но совершенно опустившийся; ему, не столько из уважения к его имени, сколько из внимания к его жене, бывшей фрейлине, дали одно из московских старозаветных мест с небольшим жалованьем, мудреным названием и безо всякого дела; он ни во что не вмешивался и только курил с утра до вечера, не выходя из шлафрока и тяжело вздыхая. Супруга его была женщина больная и озлобленная, постоянно озабоченная хозяйственными дрязгами, помещением детей в казенные заведения и поддержкой петербургских связей; она никак не могла свыкнуться с своим положением и удалением от двора.

Отец Литвинова, в бытность свою в Москве, познакомился с Осиниными, имел случай оказать им некоторые услуги, дал им однажды рублей триста взаймы; и сын его, будучи студентом, часто к ним наведывался, кстати ж, его квартира находилась не в дальнем расстоянии от их дома. Но не

близость соседства привлекала его, не плохие удобства их образа жизни его соблазняли: он стал часто посещать Осининых с тех пор, как влюбился в их старшую дочь Ирину.

Ей минуло тогда семнадцать лет; она только что оставила институт, откуда мать ее взяла по неприятности с начальницей. Неприятность произошла от того, что Ирина должна была произнести на публичиом акте приветственные стихи попечителю на французском языке, а перед самым актом ее сменила другая девица, дочь очень богатого откупщика. Княгиня не могла переварить этот афронт; да и сама Ирина не простила начальнице ее несправедливости; она уже заранее мечтала о том, как на виду всех, привлекая всеобщее внимание, она встанет, скажет свою речь, и как Москва потом заговорит о ней... И точно: Москва, вероятно, заговорила бы об Ирине. Это была девушка высокая, стройная, с несколько впалою грудью и молодыми узкими плечами, с редкою в ее лета бледно-матовою кожей, чистою и гладкою как фарфор, с густыми белокурыми волосами; их темные пряди оригинально перемежались другими, светлыми. Черты ее лица, изящно, почти изысканно правильные, не вполне утратили то простодушное выражение, которое свойственно первой молодости; но в медлительных наклонениях ее красивой шейки, в улыбке, не то рассеянной, не то усталой, сказывалась нервическая барышня, а в самом рисунке этих чуть улыбавшихся, тонких губ, этого небольшого, орлиного, несколько сжатого носа было что-то своевольное и страстное, что-то опасное и для других, и для нее. Поразительны, истинно поразительны были ее глаза, исчернасерые, с зеленоватыми отливами, с поволокой, длинные, как у египетских божеств, с лучистыми ресницами и смелым взмахом бровей. Странное выражение было у этих глаз: они как будто глядели, внимательно и задумчиво глядели из какой-то неведомой глубины и дали. В институте Ирина слыла за одну из лучших учениц по уму и способностям, но с характером непостоянным, властолюбивым и с бедовою головой; одна классная дама напророчила ей, что ее страсти ее погубят -- "Vos passions vous perdront"; зато другая классная дама ее преследовала за холодность и бесчувственность и называла ее "une jeune fille sans coeur". Подруги Ирины находили ее гордою и скрытною, братья и сестры ее побаивались, мать ей не доверяла, а отцу становилось неловко, когда она устремляла на него свои таинственные глаза; но и отцу и матери она внушала чувство невольного уважения не в силу своих качеств, а в силу особенных, неясных ожиданий, которые она в них возбуждала, бог ведает почему.

-- Вот ты увидишь, Прасковья Даниловна, -- сказал однажды старый князь, вынимая чубук изо рта, Аринка то нас еще вывезет.

Княгиня рассердилась и сказала мужу, что у него "des expressions insupportables", но потом задумалась и повторила сквозь зубы:

-- Да... и хорошо бы нас вывезти.

Ирина пользовалась почти неограниченною свободою в родительском доме; ее не баловали, даже немного чуждались ее, но и не прекословили ей: она только того и хотела... Бывало, при какой-нибудь уже слишком унизительной сцене: лавочник ли придет и станет кричать на весь двор, что ему уж надоело таскаться за своими же деньгами, собственные ли люди примутся в глаза бранить своих господ, что вы, мол, за князья, коли сами с голоду в кулак свищете, -- Ирина даже бровью не пошевельнет и сидит неподвижно, со злою улыбкою на сумрачном лице; а родителям ее одна эта улыбка горше всяких упреков, и чувствуют они себя виноватыми, без вины виноватыми перед этим существом, которому как будто с самого рождения дано было право на богатство, на роскошь, на поклонение.

Литвинов влюбился в Ирину, как только увидал ее (он был всего тремя годами старше ее), и долгое время не мог добиться не только взаимности, но и внимания. На ее обращении с ним лежал даже отпечаток какой-то враждебности; точно он обидел ее и она глубоко затаила обиду, а простить ее не могла. Он был слишком молод и скромен в то время, чтобы понять, что могло скрываться под этою враждебною, почти презрительною суровостью. Бывало, забыв лекции и тетради, сидит он в невеселой гостиной осининского дома, сидит и украдкой смотрит на Ирину: сердце в нем медленно и горестно тает и давит ему грудь; а она как будто сердится, как будто скучает, встанет, пройдется по комнате, холодно посмотрит на него, как на стол или на стул, пожмет плечом и скрестит руки; или в течение целого вечера, даже разговаривая с Литвиновым, нарочно ни разу не взглянет на него, как бы отказывая ему и в этой милостыне; или, наконец, возьмет книжку и уставится в нее, не читая, хмурится и кусает губы, а не то вдруг громко спросит у отца или у брата: как по-немецки "терпение"? Он попытался вырваться из заколдованного круга, в котором мучился и бился безустанно, как птица, попавшая в западню; он отлучился на неделю из Москвы. Чуть не сошел с ума от тоски и скуки, весь исхудалый, больной, вернулся он к Осининым... Странное дело! Ирина тоже заметно похудела за эти дни, лицо ее пожелтело, щеки осунулись... но встретила она его с большей еще холодностью, с почти злорадным небрежением, точно он еще увеличил ту тайную обиду, которую ей нанес... Так мучила она его месяца два. Потом в один день все изменилось. Словно вспыхнула пожаром, словно грозовою тучею налетела любовь. Однажды -- он долго помнил этот день -- он опять сидел в гостиной Осининых у окна и смотрел бессмысленно на улицу, и досадно ему было, и скучно, и презирал он самого себя, и с места двинуться он не мог... Казалось, теки река тут же под окном, бросился бы он в нее с ужасом, но без сожаления. Ирина поместилась недалеко от него и как-то странно молчала и не шевелилась. Она уже несколько дней не говорила с ним вовсе, да и ни с кем она не говорила; все сидела, подпершись руками, словно недоумевала, и лишь изредка медленно осматривалась кругом. Это холодное томление пришлось, наконец, невмочь Литвинову; он встал и, не прощаясь, начал искать свою шапку. "Останьтесь", -- послышался вдруг тихий шепот. Сердце дрогнуло в Литвинове, он не сразу узнал голос Ирины: что-то небывалое прозвучало в одном этом слове. Он поднял голову и остолбенел: Ирина ласково, да, ласково глядела на него. "Останьтесь, -- повторила она, -- не уходите. Я хочу быть с вами". Она еще понизила голос: "Не уходите... я хочу". Ничего не понимая, не сознавая хорошенько, что он делает, он приблизился к ней, протянул руки... Она тотчас подала ему обе свои, потом улыбнулась, вспыхнула вся, отвернулась и, не переставая улыбаться, вышла из комнаты... Через несколько минут она возвратилась вместе с младшею сестрой, опять взглянула на него тем же долгим и кротким взглядом и усадила его возле себя... Сперва она ничего не могла сказать: только вздыхала и краснела; потом начала, словно робея, расспрашивать его об его занятиях, чего она прежде никогда не делала. Вечером того же дня она несколько раз принималась извиняться перед ним в том, что не умела оценить его до сих пор, уверяла его, что она теперь совсем другая стала, удивила его внезапною республиканскою выходкой (он в то время благоговел перед Робеспьером и не дерзал громко осуждать Марата), а неделю спустя он уже знал, что она его полюбила. Да; он долго помнил тот первый день... но не забыл он также и последующих -- тех дней, когда, еще силясь сомневаться и боясь поверить, он с замираниями восторга, чуть не испуга, видел ясно, как нарождалось, росло и, неотразимо захватывая все перед собою, нахлынуло, наконец, неожиданное счастье. Наступили светлые мгновенья первой любви, мгновенья, которым не суждено, да и не следует повторяться в одной и той же жизни. Ирина стала вдруг повадлива как овечка, мягка как шелк и бесконечно добра; принялась давать уроки своим младшим сестрам -- не на фортепьяно, -- она не была музыкантшей -- но во французском языке, в английском; читала с ними их учебники, входила в хозяйство; все ее забавляло, все занимало ее; она то болтала без умолку, то погружалась в безмолвное умиление;

строила различные планы, пускалась в нескончаемые предположения о том, что она будет делать, когда выйдст замуж за Литвинова (они нисколько не сомневались в том, что брак их состоится), как они станут вдвоем... "Трудиться?" -- подсказывал Литвинов... "Да, трудиться, -- повторяла Ирина, -- читать... но главное -- путешествовать". Ей особенно хотелось оставить поскорее Москву, и когда Литвинов представлял ей, что он еще не кончил курса в университете, она каждый раз, подумав немного, возражала, что можно доучиться в Берлине или... там где-нибудь. Ирина мало стеснялась в выражении чувств своих, а потому для князя и княгини расположение ее к Литвинову оставалось тайной недолго. Обрадоваться они не обрадовались, но, сообразив все обстоятельства, не сочли нужным наложить тотчас свое "veto". Состояние Литвинова было порядочное... "Но фамилия, фамилия!.. " -- замечала княгиня. "Ну, конечно, фамилия, -- отвечал князь, -- да все ж он не разночинец, а главное: ведь Ирина не послушается нас. Разве было когда-нибудь, чтоб она не сделала того, чего захотела? Vous connaissez sa violence! Притом же определительного еще ничего нет"-- Так рассуждал князь, и тут же, однако, мысленно прибавил: "Мадам Литвинова -- и только? Я ожидал другого". Ирина вполне завладела своим будущим женихом, да и он сам охотно отдался ей в руки. Он словно попал в водоворот, словно потерял себя... И жутко ему было, и сладко, и ни о чем он не жалел, и ничего не берег. Размышлять о значении, об обязанностях супружества, о том, может ли он, столь безвозвратно покоренный, быть хорошим мужем, и какая выйдет из Ирины жена, и правильны ли отношения между ними -- он не мог решительно; кровь его загорелась, и он знал одно: идти за нею, с нею, вперед и без конца, а там будь что будет! Но, несмотря на всякое отсутствие сопротивления со стороны Литвинова, на избыток порывистой нежности со стороны Ирины, дело все-таки не обошлось без некоторых недоразумений и толчков. Однажды он забежал к ней прямо из университета, в старом сюртуке, с руками, запачканными в чернилах. Она бросилась к нему навстречу с обычным ласковым приветом -- и вдруг остановилась.

-- У вас нет перчаток, -- с расстановкою проговорила она и тотчас же прибавила: -- фи! какой вы... студент!

-- Вы слишком впечатлительны, Ирина, -- заметил Литвинов.

-- Вы... настоящий студент, -- повторила она, -- vous n'etes pas distingue.

И, повернувшись к нему спиной, она вышла вон из комнаты. Правда, час спустя она умоляла его простить ее... Вообще она охотно казнилась и винилась перед ним; только -- странное дело! она часто, чуть не плача, обвиняла себя в дурных побуждениях, которых не имела, и упорно отрицала свои действительные недостатки. В другой раз он застал ее в слезах, с головою, опертою на руки, с распущенными локонами; и когда, весь перетревоженный, он спросил о причине ее печали, она молча указала пальцем себе на грудь. Литвинов невольно вздрогнул.

"Чахотка!" -- мелькнуло у него в голове, и он схватил ее за руку.

-- Ты больна? -- произнес он трепетным голосом (они уже начали в важных случаях говорить "ты" друг другу). -- Так я сейчас за доктором...

Но Ирина не дала ему докончить и с досадой топнула ножкой.

-- Я совершенно здорова... но это платье... разве вы не понимаете?

-- Что такое?.. это платье... -- проговорил он с недоумением.

-- Что такое? А то, что у меня другого нет, и что оно старое, гадкое, и я принуждена надевать это платье каждый день... даже когда ты... когда вы приходите... Ты, наконец, разлюбишь меня, видя меня такой замарашкой!

-- Помилуй, Ирина, что ты говоришь! И платье это премилое... Оно мне еще потому дорого, что я в первый раз в нем тебя видел.

Ирина покраснела.

-- Не напоминайте мне, пожалуйста, Григорий Михайлович, что у меня уже тогда не было другого платья.

-- Но уверяю вас, Ирина Павловна, оно прелесть как идет к вам.

-- Нет, оно гадкое, гадкое, -- твердила она, нервически дергая свои длинные мягкие локоны. Ох, эта бедность, бедность, темнота! Как избавиться от этой бедности! Как выйти, выйти из темноты!

Литвинов не знал, что сказать, и слегка отворотился...

Вдруг Ирина вскочила со стула и положила ему обе руки на плечи.

-- Но ведь ты меня любишь? Ты любишь меня? -- промолвила она, приблизив к нему свое лицо, и глаза ее, еще полные слез, засверкали веселостью счастья. Ты любишь меня и в этом гадком платье?

Литвинов бросился перед ней на колени.

-- Ах, люби меня, люби меня, мой милый, мой спаситель, -- прошептала она, пригибаясь к нему.

Так дни неслись, проходили недели, и хотя никаких еще не произошло формальных объяснений, хотя Литвинов все еще медлил с своим запросом, конечно, не по собственному желанию, а в ожидании повеления от Ирины (она как-то раз заметила, что мы-де оба смешно молоды, надо хоть несколько недель еще к нашим годам прибавить), но уже все подвигалось к развязке, и ближайшее будущее обозначалось ясней и ясней, как вдруг совершилось событие, рассеявшее, как легкую дорожную пыль, все те предположения и планы.

VIII

В ту зиму двор посетил Москву. Одни празднества сменялись другими; наступил черед и обычному большому балу в Дворянском собрании. Весть об этом бале, правда в виде объявления в "Полицейских ведомостях", дошла и до домика на Собачьей площадке. Князь всполошился первый; он тотчас решил, что надо непременно ехать и везти Ирину, что непростительно упускать случай видеть своих государей, что для столбовых дворян в этом заключается даже своего рода обязанность. Он настаивал на своем мнении с особенным, вовсе ему не свойственным жаром; княгиня до некоторой степени соглашалась с ним и только вздыхала об издержках; но решительное сопротивление оказала Ирина. "Не нужно, не поеду", -- отвечала она на все родительские доводы. Ее упорство приняло такие размеры, что старый князь решился наконец попросить Литвинова постараться уговорить ее, представив ей, в числе других "резонов", что

молодой девушке неприлично дичиться света, что следует "и это испытать", что уж и так ее никто нигде не видит. Литвинов взялся представить ей эти "резоны". Ирина пристально и внимательно посмотрела на него, так пристально и так внимательно, что он смутился, и, поиграв концами своего пояса, спокойно промолвила:

-- Вы этого желаете? вы?

-- Да... я полагаю, -- отвечал с запинкой Литвинов. -- Я согласен с вашим батюшкой... Да и почему вам не поехать... людей посмотреть и себя показать, -- прибавил он с коротким смехом.

-- Себя показать, -- медленно повторила она. Ну, хорошо, я поеду... Только помните, вы сами этого желали.

-- То есть, я... -- начал было Литвинов.

-- Вы сами этого желали, -- перебила она. И вот еще одно условие: вы должны мне обещать, что вас на этом бале не будет.

-- Но отчего же?

-- Мне так хочется.

Литвинов расставил руки.

-- Покоряюсь... но, признаюсь, мне было бы так весело видеть вас во всем великолепии, быть свидетелем того впечатления, которое вы непременно произведете... Как бы я гордился вами! -- прибавил он со вздохом.

Ирина усмехнулась.

-- Все это великолепие будет состоять в белом платье, а что до впечатления... Ну, словом, я так хочу.

-- Ирина, ты как будто сердишься?

Ирина усмехнулась опять.

-- О нет! Я не сержусь. Только ты... (Она вперила в него свои глаза, и ему показалось, что он еще иикогда не видал в них такого выражения.) Может быть, это нужно, прибавила она вполголоса.

-- Но, Ирина, ты меня любишь?

-- Я люблю тебя, -- ответила она с почти торжественною важностью и крепко, по-мужски, пожала ему руку.

Все следующие дни Ирина тщательно занималась своим туалетом, своею прической; накануне бала она чувствовала себя нездоровою, не могла усидеть на месте; всплакнула раза два в одиночку: при Литвинове она как-то однообразно улыбалась... впрочем, обходилась с ним по-прежнему нежно, но рассеянно и то и дело посматривала на себя в зеркало. В самый день бала она была очень молчалива и бледна, но спокойна. Часу в девятом вечера Литвинов пришел посмотреть на нее. Когда она вышла к нему в белом тарлатановом платье, с веткой небольших синих цветов в слегка приподнятых волосах, он так и ахнул: до того она ему показалась прекрасною и величественною, уж точно не по летам. "Да она выросла с утра, -- подумал он, -- и

какая осанка! Что значит, однако, порода!" Ирина стояла перед ним с опущенными руками, не улыбаясь и не жеманясь, и глядела решительно, почти смело, не на него, а куда-то вдаль, прямо перед собою.

-- Вы точно сказочная царевна, -- промолвил наконец Литвинов, -- или нет: вы, как полководец перед сражением, перед победой... Вы не позволили мне ехать на этот бал, продолжал он, между тем как она по-прежнему не шевелилась и не то чтобы не слушала его, а следила за другою, внутреннею речью, -- но вы не откажетесь принять от меня и взять с собою эти цветы?

Он подал ей букет из гелиотропов.

Она быстро взглянула на Литвинова, протянула руки и, внезапно схватив конец ветки, украшавшей ее голову, промолвила:

-- Хочешь? Скажи только слово, и я сорву все это и останусь дома.

У Литвинова сердце так и покатилось. Рука Ирины уже срывала ветку...

-- Нет, нет, зачем же? -- подхватил он торопливо, в порыве благодарных и великодушных чувств, -- я не эгоист, зачем стеснять свободу... когда я знаю, что твое сердце...

-- Ну, так не подходите, платье изомнете, -- поспешно проговорила она.

Литвинов смешался.

-- А букет возьмете? -- спросил он.

-- Конечно: он очень мил, и я очень люблю этот запах. Mersi... Я его сохраню на память...

-- Первого вашего выезда, -- заметил Литвинов, -- первого вашего торжества.

Ирина посмотрела на себя в зеркало через плечо, чуть согнувши стан.

-- И будто я в самом деле так хороша? Вы не пристрастны?

Литвинов рассыпался в восторженных похвалах. Но Ирина уже не слушала его и, поднеся букет к лицу, опять глядела куда-то вдаль своими странными, словно потемневшими и расширенными глазами, а поколебленные легким движением воздуха концы тонких лент слегка приподнимались у ней за плечами, словно крылья. Появился князь, завитый, в белом галстуке, черном полинялом фраке и с владимирскою лентой дворянской медали в петлице; за ним вошла княгиня в шелковом платье шине, старого покроя, и с тою суровою заботливостию, под которою матери стараются скрыть свое волнекие, оправила сзади дочь, то есть безо всякой нужды встряхнула складками ее платья. Четвероместный ямской рыдван, запряженный двумя мохнатыми клячами, подполз к крыльцу, скрыпя колесами по сугробам неразметенного снега, и тщедушный лакей в неправдоподобной ливрее выскочил из передней и с некоторою отчаянностью доложил, что карета готова... Благословив на ночь оставшихся детей и облачившись в меховые одежды, князь и княгиня направились к крыльцу; Ирина в жиденьком коротеньком салопчике, -- уж как же ненавидела она этот салопчик! -- молча последовала за ними. Провожавший их Литвинов надеялся получить прощальный взгляд от Ирины, но она села в карету, не оборачивая головы.

Около полуночи он прошелся под окнами собрания. Бесчисленные огни громадных люстр сквозили светлыми точками из-за красных занавесей, и по всей площади, заставленной экипажами, нахальным, праздничным вызовом разносились звуки штраусовского вальса.

На другой день, часу в первом, Литвиное отправился к Осининым. Он застал дома одного князя, который тотчас же ему объявил, что у Ирины болит голова, что она лежит в постели и не встанет до вечера, что, впрочем, такое расстройство нимало не удивительно после первого бала.

-- C'est tres naturel, vous savez, dans les jeunes filles, прибавил он по-французски, что несколько поразило Литвинова, который в то же мгновение заметил, что на князе был не шлафрок, как обыкновенно, а сюртук. И притом, -- продолжал Осинин, -- как ей было не занемочь после вчерашних происшествий!

-- Происшествий? -- пробормотал Литвинов.

-- Да, да, происшествий, происшествий, de vrais evenements. Вы не можете себе представить, Григорий Михайлович, quel succes elle a eu! Весь двор заметил ее! Князь Александр Федорович сказал, что ей место не здесь и что она напоминает ему графиню Девонширскую... ну, вы знаете, ту... известную... А старик граф Блазенкрампф объявил во всеуслышание, что Ирина -- la reine du bal, и пожелал ей представиться; он и мне представился, то есть он мне сказал, что он меня помнит гусаром, и спрашивал, где я теперь служу. Презабавный этот граф, и такой rateur du beau sexe! Да что я! княгиня моя... и той не давали покоя: Наталья Никитишна сама с ней заговаривала... чего больше? Ирина танцевала avec tous lesmeilleurs cavaliers; уж подводили мне их, подводили... я и счет потерял. Поверите ли: так все и ходят толпами вокруг нас; в мазурке только ее и выбирали. Один иностранный дипломат, узнав, что она москвичка, сказал государю: "Sire, -- сказал он, -- decidement c'est Moscou qui est le centre de votre empire!" -- а другой дипломат прибавил: "C'est une vraie revolution, sire", -- revelation или revolution... что-то в этом роде. Да... да... это... это... я вам скажу: это было что-то необыкновенное.

-- Ну, а сама Ирина Павловна? -- спросил Литвинов, у которого во время княжеской речи похолодели ноги и руки, -- веселилась, казалась довольна?

-- Конечно, веселилась; еще бы ей не быть довольной! А впрочем, вы знаете, ее сразу не разберешь. Все мне говорят вчера:как это удивительно! jamais on ne dirait que mademoiselle vorte fille est a son premier bal. Граф Рейзенбах, между прочим... да вы его, наверное, знаете...

-- Нет, я его вовсе не знаю и не знал никогда.

-- Двоюродный брат моей жены...

-- Не знаю я его.

-- Богач, камергер, в Петербурге живет, в ходу человек, в Лифляндии всем вертит. До сих пор он нами пренебрегал... да ведь я за этим не гонюсь. J 'ai l'humeur facile, comme vous savez. Ну, так вот он. Подсел к Ирине, побеседовал с ней четверть часа, не более, и говорит потом моей княгине: "Ma cousine, говорит, votre fille est une perle; c'est une perfection;-- все поздравляют меня с такой племянницей.. эх. А потом я гляжу: подошел он к... важной особе и говорит, а сам все посматривает на Ирину... ну, и особа посматривает...

-- И так-таки Ирина Павловна целый день не покажется? -- опять спросил Литвинов.

-- Да; у ней голова очень болит. Она велела вам кланяться и благодарить вас за ваш букет, qu'on a trouve charmant. Ей нужно отдохнуть... Княгиня моя поехала с визитами... да и я сам вот...

Князь закашлялся и засеменил ногами, как бы затрудняясь, что еще прибавить. Литвинов взял шляпу, сказал, что не намерен мешать ему и зайдет позже осведомиться о здоровье, и удалился.

В нескольких шагах от осининского дома он увидел остановившуюся перед полицейскою будкой щегольскую двуместную карету. Ливрейный, тоже щегольской лакей, небрежно нагнувшись с козел, расспрашивал будочника из чухонцев, где здесь живет князь Павел Васильевич Осинин. Литвинов заглянул в карету: в ней сидел человек средних лет, геморроидальной комплексии, с сморщенным и надменным лицом, греческим носом и злыми губами, закутанный в соболью шубу, по всем признакам важный сановник.

IX

Литвинов не сдержал своего обещания зайти попозже; он сообразил, что лучше отложить посещение до следующего дня. Войдя, часов около двенадцати, в слишком знакомую гостиную, он нашел там двух младших княжон, Викториньку и Клеопатриньку. Он поздоровался с ними, потом спросил, легче ли Ирине Павловне и можно ли ее видеть.

-- Ириночка уехала с мамасей, -- отвечала Викторинька; она хотя и сюсюкала, но была бойчее своей сестры.

-- Как... уехала? -- повторил Литвинов, и что-то тихо задрожало у него в самой глубине груди. Разве... разве... разве она об эту пору не занимается с вами, не дает вам уроков?

-- Ириночка теперь усь больсе нам уроков давать не будет, -- отвечала Викторинька.

-- Теперь уж не будет, -- повторила за ней Клеопатринька.

-- А папа ваш дома? -- спросил Литвинов.

-- И папаси нет дома, -- продолжала Викторинька, -- а Ириночка нездорова: она всю ночь плакала, плакала...

-- Плакала?

-- Да, плакала... Мне Егоровна сказала, и глаза у ней такие красные, так они и распухли...

Литвинов прошелся раза два по комнате, чуть-чуть вздрагивая, словно от холода, и возвратился к себе на квартиру. Он испытывал ощущение, подобное тому, которое овладевает человеком, когда он смотрит с высокой башни вниз: вся внутренность его замирала и голова кружилась тихо и приторно. Тупое недоумение и мышья беготня мыслей, неясный ужас и немота ожидания, и любопытство, странное, почти злорадное, в сдавленном горле горечь непролитых слез, на губах усилие пустой усмешки, и мольба, бессмысленная.. ни к кому не обращенная... о, как это все было жестоко и унизительно безобразно! "Ирина не хочет меня видеть, -- беспрестанно вертелось у него в голове. это ясно;но почему же? Что такое могло произойти на этом злополучном бале? И как же возможна вдруг такая перемена? Так внезапно... (Люди беспрестанно видят, что смерть

приходит внезапно, но привыкнуть к ее внезапности никак не могут и находят ее бессмысленною.) Ничего мне не велеть сказать, не хотеть объясниться со мною... "

-- Григорий Михайлыч, -- произнес чей-то напряженный голос над самым его ухом.

Литвинов встрепенулся и увидал перед собою своего человека с запиской в руках. Он узнал почерк Ирины... Еще не распечатав записки, он уже предчувствовал беду и склонил голову на грудь и поднял плечи, как бы хоронясь от удара.

Он собрался наконец с духом и разом разорвал куверт. На небольшом листке почтовой бумаги стояли следующие слова:

"Простите меня, Григорий Михайлыч. Все кончено между нами: я переезжаю в Петербург. Мне ужасно тяжело, но дело сделано. Видно, моя судьба... да нет, я не хочу оправдываться... Предчувствия мои сбылись. Простите меня, забудьте меня: я не стою вас.

Ирина"

"Будьте великодушны: не старайтесь меня увидеть".

Литвинов прочел эти пять строк и медленно опустился на диван, словно кто пихнул его в грудь. Он выронил записку, поднял ее, прочел снова, шепнул: "В Петербург", снова ее выронил, и только. На него нашла даже тишина; он даже своими закинутыми назад руками поправил подушку под головой. "Убитые насмерть не мечутся, -- подумал он, -- как налетело, так и улетело... Все это естественно; я всегда этого ожидал... (Он лгал перед самим собою: он никогда ничего подобного не ожидал.) Плакала?.. Она плакала?.. О чем же она плакала? Ведь она не любила меня! Впрочем, все это понятно и согласно с ее характером. Она, она меня не стоит... Вот как! (Он горько усмехнулся.) Она сама не знала, какая в ней таилась сила, ну, а убедившись в ее действии на бале, как же ей было остановиться на ничтожном студенте... Все это понятно".

Но тут он вспомнил ее нежные слова, ее улыбки и эти глаза, незабвенные глаза, которых он никогда не увидит, которые и светлели и таяли при одной встрече с его глазами; он вспомнил еще одно быстрое, робкое, жгучее лобзание -- и он вдруг зарыдал, зарыдал судорожно, бешено, ядовито, перевернулся ниц и, захлебываясь и задыхаясь, с неистовым наслаждением, как бы жаждая растерзать и самого себя, и все вокруг себя, забил свое воспаленное лицо в подушку дивана, укусил ее.

Увы! тот господин, кого Литвинов видел накануне в карете, был именно двоюродный брат княгини Осининой, богач и камергер, граф Рейзенбах. Заметив впечатление, произведенное Ириной на высокопоставленные лица и мгновенно сообразив, какие "mit etwas Accuratesse" из этого факта можно извлечь выгоды, граф, как человек энергический и умеющий прислушиваться, тотчас составил свой план. Он решился действовать быстро, по-наполеоновски. "Возьму эту оригинальную девушку к себе в дом, -- так размышлял он, -- в Петербург; сделаю ее своею, черт возьми, наследницей, ну хоть не всего имения; кстати ж, у меня нет детей, она же мне племянница, и графиня моя скучает одна... Все же приятней, когда в гостиной хорошенькое личико... Да, да; это так: es ist eine Idee, es its eine Ideee". Надобно было ослепить, отуманить, поразить родителей. "Им же есть нечего, -- продолжал граф свои размышления, уже сидя в карете и направляясь к Собачьей площадке, -- так небось упрямиться не станут. Не такие же уж они чувствительные. Можно и сумму денег дать. А она? И она согласится. Мед сладок... она его вчера лизнула. Это мой каприз, положим; пускай же они им воспользуются... дураки. Я им скажу: так и

так; решайтесь. А не то я возьму другую; сироту -- еще удобнее. Да или нет, двадцать четыре часа сроку, und damit Punctum". С этими самыми словами на губах предстал граф перед князем, которого уже накануне, на бале, предварил о своем посещении. О последствиях же этого посещения, кажется, много распространяться не стоит. Граф не ошибся в своих расчетах: князь и княгиня действительно не упрямились и взяли сумму денег, и Ирина действительно согласилась, не дав истечь назначенному сроку. Нелегко ей было разорвать связь с Литвиновым; она его любила и, пославши ему записку, чуть не слегла в постель, беспрестанно плакала, похудела, пожелтела... Но со всем тем, месяц спустя, княгиня отвезла ее в Петербург и поселила у графа, поручив ее попечениям графини, женщины очень доброй, но с умом цыпленка и с наружностью цыпленка.

А Литвинов бросил тогда университет и уехал к отцу в деревню. Мало-помалу его рана зажила. Сперва он никаких сведений не имел об Ирине, да он и избегал разговоров о Петербурге и петербургском обществе. Потом понемногу начали бродить на ее счет слухи, не дурные, но странные; молва занялась ею. Имя княжны Осининой, окруженное блеском, отмеченное особенною печатью, стало чаще и чаще упоминаться даже в губернских кружках. Оно произносилось с любопытством, с уважением, с завистью, как произносилось некогда имя графини Воротынской. Наконец распространилась весть об ее замужестве. Но Литвинов едва обратил внимание на эту последнюю новинку: он был уже женихом Татьяны.

Теперь читателю, вероятно, понятно стало, что именно вспомнилось Литвинову, когда он воскликнул: "Неужели!" -- а потому мы снова вернемся в Баден и снова примемся за нить прерванного нами рассказа.

X

Литвинов заснул очень поздно и спал недолго: солнце только что встало, когда он поднялся с постели. Видные из его окон вершины темных гор влажно багровели на ясном небе. "Как там, должно быть, свежо под деревьями!" -- подумалось ему, и он поспешно оделся, рассеянно глянул на букет, еще пышнее распустившийся за ночь, взял палку и отправился за "Старый замок", на известные "Скалы". Утро обхватило его своею сильною и тихою лаской. Бодро дышал он, бодро двигался; здоровье молодости играло в каждой его жилке; сама земля словно подбрасывала его легкие ноги. С каждым шагом ему становилось все привольней, все веселей: он шел в росистой тени, по крупному песку дорожек, вдоль елок, по всем концам ветвей окаймленных яркою зеленью весенних отпрысков. "Эко славно как!" -- та и дело твердил он про себя. Вдруг послышались ему знакомые голоса: он глянул вперед и увидел Ворошилова и Бамбаева, шедших к нему навстречу. Его так и покоробило: как школьник от учителя, бросился он в сторону и спрятался за куст... "Создатель! -- взмолился он, -- пронеси соотчичей!" Кажется, никаких бы денег в это мгновенье не пожалел он, лишь бы они его не увидали... И они действительно не увидали его: создатель пронес соотчичей мимо. Ворошилов своим кадетскидовольным голосом толковал Бамбаеву о различных "фазисах" готической архитектуры, а Бамбаев только подмычивал одобрительно; заметно было, что Ворошилов уже давно пробирает его своими фазисами, и добродушный энтузиаст начинал скучать. Долго, закусив губу и вытянув шею, прислушивался Литвинов к удалявшимся шагам; долго звучали то гортанные, то носовые переливы

наставительной речи; наконец все затихло. Литвинов вздохнул, вышел из своей засады и отправился далее.

Часа три пробродил он по горам. Он то покидал дорожку и перепрыгивал с камня на камень, изредка скользя по гладкому мху; то садился на обломок скалы под дубом или буком и думал приятные думы под немолчное шептание ручейков, заросших папоротником, под успокоительный шелест листьев, под звонкую песенку одинокого черного дрозда; легкая, тоже приятная дремота подкрадывалась к нему, словно обнимала его сзади, и он засыпал... Но вдруг улыбался и оглядывался: золото и зелень леса, лесного воздуха били мягко ему в глаза -- и он снова улыбался и снова закрывал их. Ему захотелось позавтракать, и он направился к Старому замку, где за несколько крейцеров можно получить стакан хорошего молока с кофеем. Но не успел он поместиться за одним из белых крашеных столиков, находящихся на платформе перед замком, как послышался тяжелый храп лошадей и появились три коляски, из которых высыпало довольно многочисленное общество дам и кавалеров... Литвинов тотчас признал их за русских, хотя они все говорили по-французски... потому что они говорили по-французски. Туалеты дам отличались изысканным щегольством; на кавалерах были сюртуки с иголочки, но в обтяжку и с перехватом, что не совсем обыкновенно в наше время, панталоны серые с искоркой и городские, очень глянцевитые шляпы. Низенький черный галстук туго стягивал шею каждого из этих кавалеров, и во всей их осанке сквозило нечто воинственное. Действительно, они были военные люди; Литвинов попал на пикник молодых генералов, особ высшего общества и с значительным весом. Значительность их сказывалась во всем: в их сдержанной развязности, в миловидно-величавых улыбках, в напряженной рассеянности взгляда, в изнеженном подергивании плеч, покачивании стана и сгибании колен; она сказывалась в самом звуке голоса, как бы любезно и гадливо благодарящего подчиненную толпу. Все эти воины были превосходно вымыты, выбриты, продушены насквозь каким-то истинно дворянским и гвардейским запахом, смесью отличнейшего сигарного дыма и удивительнейшего пачули. И руки у всех были дворянские, белые, большие, с крепкими, как слоновая кость, ногтями; у всех усы так и лоснились, зубы сверкали, а тончайшая кожа отливала румянцем на щеках, лазурью на подбородке. Иные из молодых генералов были игривы, другие задумчивы; но печать отменного приличия лежала на всех. Каждый, казалось, глубоко сознавал собственное достоинство, важностъ своей будущей роли в государстве и держал себя и строго и вольно, с легким оттенком той резвости, того "черт меня побери", которые так естественно появляются во время заграничных поездок. Рассевшись шумно и пышно, общество позвало засуетившихся кельнеров. Литвинов поторопился допить стакан молока, расплатился и, нахлобучив шляпу, уже проскользнул было мимо генеральского пикника.

-- Григорий Михайлыч, -- проговорил женский голос, вы не узнаете меня?

Он невольно остановился. Этот голос... Этот голос слишком часто в былое время заставлял биться его сердце... Он обернулся и увидал Ирину.

Она сидела у стола и, скрестив руки на спинке отодвинутого стула, склонив голову набок и улыбаясь, приветливо, почти радостно глядела на него.

Литвинов тотчас ее узнал, хотя она успела измениться с тех пор, как он видел ее в последний раз, десять лет тому назад, хотя она из девушки превратилась в женщину.

Ее тонкий стан развился и расцвел, очертания некогда сжатых плеч напоминали теперь богинь, выступающих на потолках старинных итальянских дворцов. Но глаза остались те же, и Литвинову показалось, что они глядели на него так же, как и тогда, в том небольшом московском домике.

-- Ирина Павловна... -- проговорил он нерешительно.

-- Вы узнали меня? Как я рада! как я... (Она остановилась, слегка покраснела и выпрямилась.) Это очень приятная встреча, -- продолжала она уже по-французски. Позвольте познакомить вас с моим мужем. Valerien, мсье Литвинов, un ami d'enfance; Валериан Владимирович Ратмиров, мой муж.

Один из молодых генералов, едва ли не самый изящный изо всех, привстал со стула и чрезвычайно вежливо раскланялся с Литвиновым, между тем как остальные его товарищи чуть-чуть насупились или не столько насупились, сколько углубились на миг каждый в самого себя, как бы заранее протестуя против всякого сближения с посторонним штатским, а другие дамы, участвовавшие в пикнике, сочли за нужное и прищуриться немного, и усмехнуться, и даже изобразить недоумение на лицах.

-- Вы... вы давно в Бадене? -- спросил генерал Ратмиров, как-то не по-русски охорашиваясь и, очевидно, не зная, о чем беседовать с другом детства жены.

-- Недавно, -- отвечал Литвинов.

-- И долго намерены остаться? -- продолжал учтивый генерал.

-- Я еще не решил.

-- А! Это очень приятно... очень.

Генерал умолк. Литвинов тоже безмолвствовал. Оба держали шляпы в руках и, нагнув вперед туловище и осклабясь, глядели друг другу в брови.

-- "Deux gendarmes un beau dimanche", -- запел, разумеется, фальшиво, -- не фальшиво поющий русский дворянин доселе нам не попадался, -- подслеповатый и желтоватый генерал с выражением постоянного раздражения на лице, точно он сам себе не мог простить свою наружность. Среди всех своих товарищей он один не походил на розу.

-- Да что же вы не сядете, Григорий Михайлыч, -- промолвила наконец Ирина.

Литвинов повиновался, сел.

-- I say, Valerien, give me some fire, -- проговорил другой генерал, тоже молодой, но уже тучный, с неподвижными, словно в воздух уставленными глазами и густыми шелковистыми бакенбардами, в которые он медленно погружал свои белоснежные пальцы. Ратмиров подал ему серебряную коробочку со спичками.

-- Avez-vous des papiros? -- спросила, картавя, одна из дам.

-- De vrais papelitos, comtesse.

-- "Deux gendarmes un beau dimanche", -- чуть не со скрипом зубов затянул опять подслеповатый генерал.

-- Вы должны непременно посетить нас, -- говорила между тем Литвинову Ирина. Мы живем в Hotel de L'Europe. От четырех до шести я всегда дома. Мы с вами так давно не видались.

Литвинов глянул на Ирину, она не опустила глаз.

-- Да, Ирина Павловна, давно. С Москвы.

-- С Москвы, с Москвы, -- повторила она с расстановкой. Приходите, мы потолкуем, старину вспомянем. А знаете ли, Григорий Михайлыч, вы не много переменились.

-- В самом деле? А вы вот переменились, Ирина Павловна.

-- Я постарела.

-- Нет. Я не то хотел сказать...

-- Irene? -- вопросительно промолвила одна из дам с желтою шляпкой на желтых волосах, предварительно нашептавшись и похихикавши с сидевшим возле нее кавалером. Irene?

-- Я постарела, -- продолжала Ирина, не отвечая даме, -- но я не переменилась. Нет, нет, я ни в чем не переменилась.

-- "Deux gendarmes un beau dimanche!" -- раздалось опять. Раздражительный генерал помнил только первый стих известной песенки.

-- Все еще покалывает, ваше сиятельство, -- громко и на о проговорил тучный генерал с бакенбардами, вероятно намекая на какую-нибудь забавную, всему бомонду известную историю, и, засмеявшись коротким деревянным смехом, опять уставился в воздух. Все остальное общество также засмеялось.

-- What a sad dog you are, Boris! -- заметил вполголоса Ратмиров. Он самое имя "Борис" произнес на английский лад.

-- Irene? -- в третий раз спросила дама в желтой шляпке. Ирина быстро обернулась к ней.

-- Eh bein, quoi? que me voules-vous?

-- Je vous le dirai plus tard ", -- жеманно отвечала дама. При весьма непривлекательной наружности она постоянно жеманилась и кривлялась; какой-то остряк сказал про нее, что она "minaudait dans le vide" -- "кривлялась в пустом пространстве".

Ирина нахмурилась и нетерпеливо пожала плечом.

-- Mais que fait donc monsieur Verdier? Pourquoi ne vient-il pas? -- воскликнула одна дама с теми для французского слуха нестерпимыми протяжными ударениями, которые составляют особенность великороссийского выговора.

-- Ах, вуй, ах, вуй, мсье Вердие, мсье Вердие, простонала другая, родом прямо уже из Арзамасэ.

-- Tranquillisez-vous, mesdames, -- вмешался Ратмиров, -- monsieur Verdier m'a promis de venir se mettre a vos pieds.

-- Хи, хи, хи! -- Дамы заиграли веером.

Кельнер принес несколько стаканов пива.

-- Байриш бир? -- спросил генерал с бакенбардами. нарочно бася и притворяясь изумленным. Гутен морген.

-- А что? Граф Павел все еще там? -- холодно и вяло спросил один молодой генерал другого.

-- Там, -- также холодно отвечал тот. Mais c'est provisoire. Serge, говорят, на его место.

-- Эге!-- процедил первый сквозь зубы.

-- Н-да, -- процедил и второй.

-- Я не могу понять, -- заговорил генерал, напевавший песенку, -- я не могу понять, что за охота была Полю оправдываться, приводить разные там причины... Ну, он поприжал купца, il lui a fait rendre gorge... ну, и что ж такое? У него могли быть свои соображения.

-- Он боялся... обличения в журналах, -- пробурчал кто-то.

Раздражительный генерал вспыхнул.

-- Ну, уж это последнее дело! Журналы! Обличение! Если б это от меня зависело, я бы в этих в ваших журналах только и позволил печатать, что таксы на мясо или на хлеб да объявления о продаже шуб да сапогов.

-- Да дворянских имений с аукциона, -- ввернул Ратмиров.

-- Пожалуй, при теперешних обстоятельствах... Одпако что за разговор в Бадене, au Vieux Chateau!.

-- Mais pas du tout pas du tout! -- залепетала дама в желтой шляпе. J'adore les questions politiques.

-- Madame a raison, -- вмешался другой генерал, с чрезвычайно приятным и как бы девическим лицом. Зачем нам избегать этих вопросов... даже в Бадене? -- Он при этих словах учтиво взглянул на Литвинова и снисходительно улыбнулся. Порядочный человек нигде и ни в каком случае не должен отступаться от своих убеждений. Не правда ли?

-- Конечно, -- отвечал раздражительный генерал, также взбрасывая глазами на Литвинова и как бы косвенно его распекая, -- но я не вижу надобности...

-- Нет, нет, -- с прежнею мягкостью перебил снисходительный генерал. Вот наш приятель, Валериан Владимирович, упомянул о продаже дворянских имений. Что ж? Разве это не факт?

-- Да их и продать теперь невозможно; никому они не нужны! -- воскликнул раздражительный генерал.

-- Может быть... может быть. Потому-то и надо заявлять этот факт... этот грустный факт на каждом шагу. Мы разорены -- прекрасно; мы унижены -- об этом спорить нельзя; но мы, крупные владельцы, мы все-таки представляем начало... un principe. Поддерживать этот принцип -- наш долг. Pardon, madame,, вы, кажется, платок уронили. Когда некоторое, так сказать, омрачение овладевает даже высшими умами, мы должны указывать -- с покорностью указывать (генерал протянул палец), -- указывать перстом гражданина на бездну, куда все стремится. Мы должны

предостерегать; мы должны говорить с почтительною твердостию: "Воротитесь, воротитесь назад... " Вот что мы должны говорить.

-- Нельзя же, однако, совсем воротиться, -- задумчиво заметил Ратмиров.

Снисходительный генерал только осклабился.

-- Совсем; совсем назад, mon tres cher. Чем дальше назад, тем лучше.

Генерал опять вежливо взглянул на Литвинова. Тот не вытерпел.

-- Уж не до семибоярщины ли нам вернуться, ваше превосходительство?

-- А хоть бы и так! Я выражаю свое мнение не обинуясь; надо переделать... да... переделать все сделанное.

-- И девятнадцатое февраля?

-- И девятнадцатое февраля -- насколько это возможно. On est patriote ou on ne l'est pas. А воля? -- скажут мне. Вы думаете, сладка народу эта воля? Спросите-ка его...

-- Попытайтесь, -- подхватил Литвинов, -- попытайтесь отнять у него эту волю...

-- Comment nommes-vous ce monsieur? -- шепнул генерал Ратмирову.

-- Да о чем вы тут толкуете? -- заговорил вдруг тучный генерал, очевидно разыгрывавший в этом обществе роль избалованного ребенка. О журналах все? О щелкоперах? Позвольте, я вам расскажу, какой у меня был анекдот с щелкопером -- чудо! Говорят мне: написал на вас un folliculaire пашквиль. Ну я, разумеется, тотчас его под цугундер. Привели голубчика... "Как же это ты так, говорю, друг мой, folliculeire, пашквили пишешь? Аль патриотизм одолел?" -- "Одолел", говорит. "Ну, а деньги, говорю, folliculiire, любишь"? -- "Люблю", говорит. Тут я ему, милостивые государи мои, дал набалдашник моей палки понюхать. "А это ты любишь, ангел мой?" -- "Нет, говорит, этого не люблю". -- "Да ты, я говорю, понюхай как следует, руки-то у меня чистые". -- "Не люблю", говорит, и полно. "А я, говорю, душа моя, очень это люблю, только не для себя. Понимаешь ты сию аллегорию, сокровище ты мое?" -- "Понимаю", говорит. "Так смотри же, вперед будь паинька, а теперь вот тебе целковый-рупь, ступай и благословляй меня денно и нощно". И ушел folliculairee.

Генерал засмеялся, и все опять за ним засмеялись -- все, исключая Ирины, которая даже не улыбнулась и как-то сумрачно посмотрела на рассказчика.

Снисходительный генерал потрепал Бориса по плечу.

-- Все это ты выдумал, друг ты мой сердечный... Станешь ты палкой кому-нибудь грозить... У тебя и палки-то нет. C'est pour faire rire ces dames. Для красного словца. Но дело не в том. Я сейчас сказал, что надобно совсем назад вернуться. Поймите меня. Я не враг так называемого прогресса; но все эти университеты да семинария там, да народные училища, эти студенты, поповичи, разночинцы, вся эта мелюзга, tout ce found du sac, la petite propriete, pire que le proletariat (генерал говорил изнеженным, почти расслабленным голосом), -- voila ce qui m'effraie... вот где нужно остановиться... и остановить. (Он опять ласково взглянул на Литвинова.) Да-с, нужно остановиться. Не забудьте, ведь у нас никто ничего не требует, не просит. Самоуправление, например, -- разве кто его просит? Вы его разве просите? Или ты? или ты? или вы, mesdames? Вы уж и так не только

самими собою, всеми нами управляете. (Прекрасное лицо генерала оживилось забавною усмешкой.) Друзья мои любезные, зачем же зайцем-то забегать? Демократия вам рада, она кадит вам, она готова служить вашим целям... да ведь это меч обоюдоострый. Уж лучше по-старому, по-прежнему... верней гораздо. Не позволяйте умничать черни да вверьтесь аристократии, в которой одной и есть сила... Право, лучше будет. А прогресс... я, собственно, ничего не имею против прогресса. Не давайте нам только адвокатов, да присяжных, да земских каких-то чиновников, да дисциплины, -- дисциплины пуще всего не трогайте, а мосты, и набережные, и гошпитали вы можете строить, и улиц газом отчего не освещать?

-- Петербург со всех четырех концов зажгли, вот вам и прогресс! -- прошипел раздражительный генерал.

-- Да ты, я вижу, злобен, -- промолвил, лениво покачиваясь, тучный генерал, -- тебя бы хорошо в обер-прокуроры произвести, а по-моему, avec Orphee aux enfers le progres a dit son dernier mot.

-- Vous dites toujours des betises, -- захихикала дама из Арзамаса.

Генерал приосанился.

-- Je ne suis jamais plus serieux, madame, que quand je dis des betises.

-- Мсье Вердие эту самую фразу уже несколько раз сказал, -- заметила вполголоса Ирина.

-- De la poigne et des formes -- воскликнул тучный генерал, -- de la poigne surtout! А сие по-русски можно перевести тако: вежливо, но в зубы!

-- Ах ты, шалун, шалун неисправимый! -- подхватил снисходительный генерал. Мерзавец, не слушайте его, пожалуйста. Комара не зашибет. Он довольствуется тем, что сердца пожирает.

-- Ну, однако, нет, Борис, -- начал Ратмиров, обменявшись взглядом с женою, -- шалость шалостью, а это преувеличение. Прогресс -- это есть проявление жизни общественной, вот что не надо забывать; это симптом. Тут надо следить.

-- Ну да, возразил тучный генерал и сморщил нос. Дело известное, ты в государственные люди метишь!

-- Вовсе не в государственные люди... Какие тут государственные люди! А правду нельзя не признать.

"Boris" опять запустил пальцы в бакенбарды и уставился в воздух.

-- Общественная жизнь, это очень важно, потому что в развитии народа, в судьбах, так сказать, отечества...

-- Valerien, -- перебил "Boris" внушительно, -- il y a des dames ici. Я этого от тебя не ожидал. Или ты в комитет попасть желаешь?

-- Да они все теперь, слава богу, уже закрыты, подхватил раздражительный генерал и снова запел: "Deux gendarmes un beau dimanche... "

Ратмиров поднес батистовый платок к носу и грациозно умолк; снисходительный генерал повторил: "Шалун! Шалун!" А "Boris" обратился к даме, кривлявшейся в пустом пространстве, и, не

понижая голоса, не изменяя даже выражения лица, начал расспрашивать ее о том, когда же она "увенчает его пламя", так как он влюблен в нее изумительно и страдает необыкновенно.

С каждым мгновением, в течение этого разговора, Литвинову становилось все более и более неловко. Его гордость, его честная, плебейская гордость так и возмущалась. Что было общего между ним, сыном мелкого чиновника, и этими военными петербургскими аристократами? Он любил все, что они ненавидели, он ненавидел все то, что они любили; он слишком ясно это сознавал, он всем существом своим это чувствовал. Шутки их он находил плоскими, тон невыносимым, каждое движение ложным; в самой мягкости их речей ему слышалось возмутительное презрение -- и однако же он как будто робел перед ними, перед этими людьми, этими врагами... "Фу, какая гадость! Я их стесняю, я им кажусь смешным, вертелось у него в голове, -- зачем же я остаюсь? Уйдем, уйдем тотчас!" Присутствие Ирины не могло удержать его: невеселые ощущения возбуждала в нем и она. Он поднялся со стула и начал прощаться.

-- Вы уже уходите? -- промолвила Ирина, но, подумав немного, не стала настаивать и только взяла с него слово, что он непременно посетит ее.

Генерал Ратмиров с прежнею утонченною вежливостью раскланялся с ним, пожал ему руку, довел его до конца платформы... Но едва Литвинов успел завернуть за первый угол дороги, как дружный взрыв хохота раздался за ним. Хохот этот относился не к нему, а к давно ожиданному мсье Вердие, который внезапно появился на платформе, в тирольской шляпе, синей блузе и верхом на осле; но кровь так и хлынула Литвинову в щеки, и горько стало ему: словно полынь склеила его стиснутые губы. "Презренные, пошлые люди!" -- пробормотал он, не соображая того, что несколько мгновений, проведенных в обществе этих людей, еще не давали ему повода так жестоко выражаться. И в этот-то мир попала Ирина, его бывшая Ирина! В нем она вращалась, жила, царствовала, для него она пожертвовала собственным достоинством, лучшими чувствами сердца...

Видно, так следовало; видно, она не заслуживала лучшей участи! Как он радовался тому, что ей не вздумалось расспрашивать его о его намерениях! Ему бы пришлось высказываться перед "ними", в "их" присутствии... "Ни за что! никогда!" -- шептал Литвинов, глубоко вдыхая свежий воздух и чуть не бегом спускаясь по дороге в Баден. Он думал о своей невесте, о своей милой, доброй, святой Татьяне, и как чиста, благородна, как правдива казалась она ему! С каким неподдельным умилением припоминал он ее черты, ее слова, самые ее привычки... с каким нетерпением ожидал ее возвращения! Быстрая ходьба успокоила его нервы. Возвратясь домой, он уселся за стол, взял книгу в руки и внезапно ее выронил, даже вздрогнул... Что с ним случилось? Ничего не случилось с ним, но Ирина... Ирина... Удивительным, странным, необычайным вдруг показалось ему его свидание с нею. Возможно ли? он встретился, говорил с тою самой Ириной... И почему на ней не лежит того противного, светского отпечатка, которым так резко отмечены все те другие? Почему ему сдается, что она как будто скучает, или грустит, или тяготится своим положением? Она в их стане, но она не враг. И что могло ее заставить так радушно обратиться к нему, звать его к себе? Литвинов встрепенулся.

-- О Таня, Таня! -- воскликнул он с увлечением, -- ты одна мой ангел, мой добрый гений, тебя я одну люблю и век любить буду. А к той я не пойду. Бог с ней совсем! Пусть она забавляется с своими генералами!

Литвинов снова взялся за книгу.

XI

Литвинов взялся за книгу, но ему не читалось. Он вышел из дому, прогулялся немного, послушал музыку, поглазел на игру и опять вернулся к себе в комнату, опять попытался читать -- все без толку. Как-то особенно вяло влачилось время. Пришел Пищалкин, благонамеренный мировой посредник, и посидел часика три. Побеседовал, потолковал, ставил вопросы, рассуждал вперемежку -- то о предметах возвышенных, то о предметах полезных и такую, наконец, распространил скуку, что бедный Литвинов чуть не взвыл. В искусстве наводить скуку, тоскливую, холодную, безвыходную и безнадежную скуку, Пищалкин не знал соперников даже между людьми высочайшей нравственности, известными мастерами по этой части. Один вид его остриженной и выглаженной головы, его светлых и безжизненных глаз, его доброкачественного носа возбуждал невольную унылость, а баритонный, медлительный, как бы заспанный его голос казался созданным для того, чтобы с убеждением и вразумительностью произносить изречения, состоявшие в том, что дважды два четыре, а не пять и не три, вода мокра, а добродетель похвальна; что частному лицу, равно как и государству, а государству, равно как и частному лицу, необходимо нужен кредит для денежных операций. И со всем тем человек он был превосходный! Но уж таков предел судеб на Руси: скучны у нас превосходные люди. Пищалкин удалился; его заменил Биндасов и немедленно, с великою наглостью, потребовал у Литвинова взаймы сто гульденов, которые тот ему и дал, несмотря на то, что не только не интересовался Биндасовым, но даже гнушался им и знал наверное, что денег своих не получит ввек; притом он сам в них нуждался. Зачем же он дал их ему? -- спросит читатель. А черт знает зачем! На это русские тоже молодцы. Пусть читатель положит руку на сердце и вспомнит, какое множество поступков в его собственной жизни не имело решительно другой причины. А Биндасов даже не поблагодарил Литвинова: потребовал стакан аффенталера (баденского красного вина) и ушел, не обтерев губ и нахально стуча сапогами. И уж как же досадовал на себя Литвинов, глядя на красный загривок удалявшегося кулака! Перед вечером он получил письмо от Татьяны, в котором она его извещала, что, вследствие нездоровья ее тетки, раньше пяти, шести дней она в Баден приехать не может. Это известие неприятно подействовало на Литвинова: оно усилило его досаду, и он лег спать рано, в дурном настроении духа. Следующий день выдался не лучше предшествовавшего, чуть ли не хуже. С самого утра комната Литвинова наполнилась соотечественниками: Бамбаев, Ворошилов, Пищалкин, два офицера, два гейдельбергские студента, все привалили разом и так-таки не уходили вплоть до обеда, хотя скоро выболтались и, видимо, скучали. Они просто не знали, куда деться, и, попав на квартиру Литвинова, как говорится, "застряли" в ней. Сперва они потолковали о том, что Губарев уехал обратно в Гейдельберг и что надо будет к нему отправиться; потом немного пофилософствовали, коснулись польского вопроса; потом приступили к рассуждениям об игре, о лоретках, принялись рассказывать скандальные анекдотцы; наконец, разговор завязался о том, какие бывают силачи, какие толстые люди и какие обжоры. Выступили на свет божий старые анекдоты о Лунине, о дьяконе, съевшем на пари тридцать три селедки, об известном своею точностью уланском полковнике Изъединове, о солдате, ломающем говяжью кость о собственный лоб, а там пошло уже совершенное вранье. Сам Пищалкин рассказал, зевая, что знал в Малороссии бабу, в которой при смерти оказалось двадцать семь пудов с фунтами, и помещака, который за завтраком съедал трех гусей и осетра; Бамбаев вдруг пришел в экстаз и объявил, что он сам в состоянии съесть целого барана, "разумеется, с приправами", а Ворошилов брякнул что-то такое несообразное насчет товарища, силача-кадета, что все помолчали, помолчали,

посмотрели друг на друга, взялись за шапки и разбрелись. Оставшись наедине, Литвинов хотел было заняться, но ему точно копоти в голову напустили; он ничего не мог сделать путного, и вечер тоже пропал даром. На следующее утро он собирался завтракать, кто-то постучался к нему в дверь. "Господи, -- подумал Литвинов, -- опять кто-нибудь из вчерашних приятелей", -- и не без некоторого содрогания промолвил:

-- Herein!

Дверь тихонько отворилась, и в комнату вошел Потугин.

Литвинов чрезвычайно ему обрадовался.

-- Вот это мило! -- заговорил он, крепко стискивая руку нежданному гостю, -- вот спасибо! Я сам непременно навестил бы вас, да вы не хотели мне сказать, где вы живете. Садитесь, пожалуйста, положите шляпу. Садитесь же.

Потугин ничего не отвечал на ласковые речи Литвинова, стоял, переминаясь с ноги на ногу, посреди комнаты и только посмеивался да покачивал головой. Радушный привет Литвинова его, видимо, тронул, но в выражении его лица было нечто принужденное.

-- Тут... маленькое недоразумение... -- начал он не без запинки. Конечно, я всегда с удовольствием... но меня, собственно... меня к вам прислали.

-- То есть вы хотите сказать, -- промолвил жалобным голосом Литвинов, -- что сами собой вы бы не пришли ко мне?

-- О нет, помилуйте!.. Но я... я, может быть, не решился бы сегодня вас беспокоить, если бы меня не попросили зайти к вам. Словом, у меня есть к вам поручение.

-- От кого, позвольте узнать?

-- От одной вам известной особы, от Ирины Павловны Ратмировой. Вы третьего дня обещались навестить ее и не пришли.

Литвинов с изумлением уставился на Потугина.

-- Вы знакомы с госпожою Ратмировой?

-- Как видите.

-- И коротко знакомы?

-- Я до некоторой степени ей приятель.

Литвинов помолчал.

-- Позвольте вас спросить, -- начал он наконец, -- вам известно, для чего Ирине Павловне угодно меня видеть? Потугин подошел к окну.

-- До некоторой степени известно. Она, сколько я могу судить, очень обрадовалась встрече с вами, ну и желает возобновить прежние отношения.

-- Возобновить, -- повторил Литвинов. Извините мою нескромность, но позвольте мне еще спросить вас. Вам известно, какого рода были эти отношения?

-- Собственно -- нет, неизвестно. Но я полагаю, -- прибавил Потугин, внезапно обратившись к Литвинову и дружелюбно глядя на него, -- я полагаю, что они были хорошего свойства. Ирина Павловна очень вас хвалила, и я должен был дать ей слово, что приведу вас. Вы пойдете?

-- Когда?

-- Теперь... сейчас.

Литвинов только руками развел.

-- Ирина Павловна, -- продолжал Потугин, -- полагает, что та... как бы выразиться... та среда, что ли, в которой вы ее застали третьего дня, не должна возбудить ваше особенное сочувствие; но она велела вам сказать, что черт не такой черный, каким его изображают.

-- Гм... Это изречение применяется собственно к той... среде?

-- Да... и вообще.

-- Гм... Ну, а вы, Созонт Иваныч, какого мнения о черте?

-- Я думаю, Григорий Михайлыч, что он, во всяком случае, не такой, каким его изображают.

-- Он лучше?

-- Лучше ли, хуже ли, это решить трудно, но ни такой. Ну что же, идем мы?

-- Да вы посидите сперва немножко. Мне, признаться, все-таки кажется немного странным...

-- Что, смею спросить?

-- Каким образом вы, собственно вы, могли сделаться приятелем Ирины Павловны?

Потугин окинул самого себя взглядом.

-- С моею фигурой, с положением моим в обществе оно, точно, неправдоподобно; но вы знаете -- уже Шекспир сказал: "Есть многое на свете, друг Гонца, и так далее. Жизнь тоже шутить не любит. Вот вам сравнение: дерево стоит перед вами, и ветра нет; каким образом лист на нижней ветке прикоснется к листу на верхней ветке? Никоим образом. А поднялась буря, все перемешалось -- и те два листа прикоснулись.

-- Ага! Стало быть, бури были?

-- Еще бы! Без них разве проживешь? Но в сторону философию. Пора идти.

Литвинов все еще колебался.

-- О господи! -- воскликнул с комической ужимкой Потугин, -- какие нынче стали молодые люди! Прелестнейшая дама приглашает их к себе, засылает за ними гонцов, нарочных, а они чинятся! Стыдитесь, милостивый горсударь, стыдитесь. Вот ваша шляпа. Возьмите ее, и "форвертс!" -- как говорят наши друзья, пылкие немцы.

Литвинов постоял еще немного в раздумье, но кончил тем, что взял шляпу и вышел из комнаты вместе с Потугиным.

XII

Они пришли в одну из лучших гостиниц Бадена и спросили генеральшу Ратмирову. Швейцар сперва осведомился об их именах, потом тотчас отвечал, что "die Frau Furstin ist zu Hause", -- и сам повел их по лестнице, сам постучал в дверь номера и доложил о них. "Die Frau Furstin" приняла их немедленно; она была одна: муж ее отправился в Кралсруэ для свидания с проезжавшим сановным тузом из "влиятельных".

Ирина сидела за небольшим столиком и вышивала по канве, когда Потугин с Литвиновым переступили порог двери. Она проворно бросила шитье в сторону, оттолкнула столик, встала; выражение неподдельного удовольствия распространилось по ее лицу. На ней было утреннее, доверху закрытое платье; прекрасные очертания плеч и рук сквозили через легкую ткань; небрежно закрученная коса распустилась и падала низко на тонкую шею. Ирина бросила Потугину быстрый взгляд, шепнула "mersi" и, протянув Литвинову руку, любезно упрекнула его в забывчивости. "А еще старый друг", -- прибавила она. Литвинов начал было извиняться. "C'est bien, c'est bien", -- поспешно промолвила она и, с ласковым насилием отняв у него шляпу, заставила его сесть. Потугин тоже сел, но тотчас же поднялся и, сказав, что у него есть безотлагательное дело и что он зайдет после обеда, стал раскланиваться. Ирина снова бросила ему быстрый взгляд и дружески кивнула ему головой, но не удерживала его и, как только он исчез за портьеркой, с нетерпеливою живостью обратилась к Литвинову.

-- Григорий Михайлыч, -- заговорила она по-русски своим мягким и звонким голосом, -- вот мы одни наконец, и я могу сказать вам, что я очень рада нашей встрече, потому что она... она даст мне возможность... (Ирина посмотрела ему дрямо в лицо) попросить у вас прощения. Литвинов невольно вздрогнул. Такого быстрого натиска он не ожидал. Он не ожидал, что она сама наведет речь на прежние времена.

-- В чем... прощения... -- пробормотал он.

Ирина покраснела.

-- В чем?.. вы знаете, в чем, -- промолвила она и слегка отвернулась. Я была виновата перед вами, Григорий Михайлыч... хотя, конечно, такая уж мне выпала судьба (Литвинову вспомнилось ее письмо), и я не раскаиваюсь... это было бы, во всяком случае, слишком поздно; но, встретив вас так неожиданно, я сказала себе, что мы непременно должны сделаться друзьями, непременно... и мне было бы очень больно, если б это не удалось... и мне кажется, что для этого мы должны объясниться с вами, не откладывая и раз навсегда, чтоб уже потом не было никакой... gene, никакой неловкости, раз навсегда, Григорий Михайлыч; и что вы должны сказать мне, что вы меня прощаете, а то я буду предполагать в вас... de la rancune. Voila! Это с моей стороны, может быть, большая претензия, потому что вы, вероятно, давным-давно все забыли, но все равно, скажите мне, что вы меня простили.

Ирина произнесла всю эту речь не переводя духа, и Литвинов мог заметить, что в глазах ее заблистали слезы... да, действительные слезы.

-- Помилуйте, Ирина Павловна, -- поспешно начал он, -- как вам не совестно извиняться, просить прощения... То дело прошедшее, в воду кануло, и мне остается только удивляться, как вы, среди блеска, который вас окружает, могли еще сохранить воспоминание о темном товарище первой вашей молодости...

-- Вас это удивляет? -- тихо проговорила Ирина.

-- Меня это трогает, -- подхватил Литвинов, -- потому что я никак не мог вообразить...

-- А вы все-таки мне не сказали, что вы меня простили, -- перебила Ирина.

-- Я искренно радуюсь вашему счастью, Ирина Павловна, я от всей души желаю вам всего лучшего на земле...

-- И не помните зла?

-- Я помню только те прекрасные мгновенья, которыми я некогда был вам обязан.

Ирина протянула ему обе руки. Литвинов крепко стиснул их и не разом их выпустил... Что-то давно небывалое тайно шевельнулось в его сердце от этого мягкого прикосновения. Ирина опять глядела ему прямо в лицо; но на этот раз она улыбалась... И он в первый раз прямо и пристально посмотрел на нее... Он опять узнал черты, когда-то столь дорогие, и те глубокие глаза с их необычайными ресницами, и родинку на щепе, и особый склад волос надо лбом, и привычку как-то мило и забавно кривить губы и чуть-чуть вздрагивать бровями, -- все, все узнал он... Но как она похорошела! Какая прелесть, какая сила женского молодого тела! И ни румян, ни белил, ни сурьмы, ни пудры, никакой фальши на свежем, чистом лице... Да, это была, точно, красавица!

Раздумье нашло на Литвинова... Он все глядел на нее, но уже мысли его были далеко... Ирина это заметила.

-- Ну вот и прекрасно, -- громко заговорила она, -- ну вот теперь совесть моя покойна, и я могу удовлетворить мое любопытство.

-- Любопытство, -- повторил Литвинов, как бы недоумевая.

-- Да, да... Я непременно хочу знать, что вы делали все это время, какие ваши планы; я все хочу знать, как, что, когда... все, все. И вы должны говорить мне правду, потому что я предуведомляю вас, я не теряла вас из вида... насколько это было возможно.

-- Вы меня не теряли из вида, вы... там... в Петергбурге?

-- Среди блеска, который меня окружал, как вы сейчас выразились. Именно, да, не теряла. Об этом блеске мы еще поговорим с вами; а теперь вы должны рассказывать, много, долго рассказывать, никто вам не помешает. Ах, как это будет чудесно!-- прибавила Ирина, весело усаживаясь и охорашиваясь в кресле. Ну же, начинайте.

-- Прежде чем рассказывать, я должен благодарить вас, -- начал Литвинов.

-- За что?

-- За букет цветов, который очутился у меня в комнате.

-- Какой букет? Я ничего не знаю.

-- Как?

-- Говорят вам, я ничего не знаю... Но я жду... жду вашего рассказа... Ах, какой этот Потугин умница, -что привел вас!

Литвинов навострил уши.

-- Вы с этим господином Потугиным давно знакомы? -- спросил он.

-- Давно... но рассказывайте.

-- И близко его знаете?

-- О да! -- Ирина вздохнула. Тут есть особенные причины... Вы, конечно, слыхали про Элизу Сельскую... Вот та, что умерла в позапрошлом году такой ужасной смертью?.. Ах, да ведь я забыла, что вам неизвестны наши истории... К счастью, к счастью, неизвестны. Oh, quelle chance! Наконец-то, наконец один человек, живой человек, который нашего ничего не знает! И по-русски можно с ним говорить, хоть дурным языком, да русским, а не этим вечным приторным, противным, петербургским французским языком!

-- И Потугин, говорите вы, находился в отношениях с...

-- Мне очень тяжело даже вспоминать об этом, перебила Ирина. Элиза была моим лучшим другом в институте, и потом, в Петербурге au chateau мы беспрестанно видались. Она мне доверяла все свои тайны: она была очень несчастна, много страдала. Потугин в этой истории вел себя прекрасно, как настоящий рыцарь! Он пожертвовал собою. Я только тогда его оценила! Но мы опять отбились в сторону. Я жду вашего рассказа, Григорий Михайлович.

-- Да мой рассказ нисколько не может интересовать вас, Ирина Павловна.

-- Это уж не ваше дело.

-- Вспомните, Ирина Павловна, мы десять лет не видались, целых десять лет. Сколько воды утекло с тех пор.

-- Не одной воды! не одной воды! -- повторила она с особым, горьким выражением, -- потому-то я и хочу вас слушать.

-- И притом я, право, не могу придумать, с чего же мне начать?

-- С начала. С самого того времени, как вы... как я переехала в Петербург. Вы тогда оставили Москву... Знаете ли, я с тех пор уже никогда не возвращалась в Москву!

-- В самом деле?

-- Прежде было невозможно; а потом, когда я вышла замуж...

-- А вы давно замужем?

-- Четвертый год.

-- Детей у вас нет?

-- Нет, -- сухо ответила она.

Литвинов помолчал.

-- А до вашего замужества вы постоянно жили у этого, как бишь его, графа Рейзенбаха?

Ирина пристально посмотрела на него, как бы желая отдать себе отчет, зачем он это спрашивает...

-- Нет... -- промолвила она наконец.

-- Стало быть, ваши родители... Кстати, я и не спросил у вас об них. Что они...

-- Они оба здоровы.

-- И по-прежнему живут в Москве?

-- По-прежнему в Москве.

-- А ваши братья, сестры?

-- Им хорошо; я их всех пристроила.

-- А! -- Литвинов исподлобья взглянул на Ирину. По-настоящему, Ирина Павловна, не мне бы следовало рассказывать, а вам, если только...

Он вдруг спохватился и умолк.

Ирина поднесла руки к лицу и повертела обручальным кольцом на пальце.

-- Что ж? Я не отказываюсь, -- промолвила она наконец. Когда-нибудь... пожалуй... Но сперва вы... потому, вот видите, я хоть и следила за вами, но об вас почти ничего не знаю; а обо мне... ну обо мне вы, наверно, слышали довольно. Не правда ли? Ведь вы слышали, скажите?

-- Вы, Ирина Павловна, занимали слишком видное место в свете, чтобы не возбуждать толков... особенно в провинции, где я находился и где всякому слуху верят.

-- А вы верили этим слухам? И какого роду были они?

-- Признаться сказать, Ирина Павловна, эти слухи доходили до меня очень редко. Я вел жизнь весьма уединенную.

-- Как так? Ведь вы были в Крыму, в ополчении?

-- Вам и это известно?

-- Как видите. Говорят вам, за вами следили.

Литвинову снова пришлось изумиться.

-- Зачем же я стану вам рассказывать, что вы и без меня знаете? -- проговорил Литвинов вполголоса.

-- А затем... затем, чтобы исполнить мою просьбу. Ведь я прошу вас, Григорий Михайлович.

Литвинов наклонил голову и начал... начал несколько сбивчиво, в общих чертах передавать Ирине свои незатейливые похождения. Он часто останавливался и вопросительно взглядывал на Ирину, дескать, не довольно ли? Но она настойчиво требовала продолжения рассказа и, откинув волосы за уши, облокотившись на ручку кресла, казалось, с усиленным вниманием ловила каждое слово. Глядя на нее со стороны и следя за выражением ее лица, иной бы, пожалуй, мог подумать, что она вовсе не слушала того, что Литвинов ей говорил, а только погружалась в созерцание... Но не Литвинова созерцала она, хотя он и смущался и краснел под ее упорным взглядом. Пред нею возникла целая жизнь, другая, не его, ее собственная жизнь.

Литвинов не кончил, а умолк под влиянием неприятного чувства постоянно возраставшей внутренней неловкости. Ирина на этот раз ничего не сказала ему, не попросила его продолжать и, прижав ладонь к глазам, точно усталая, медленно прислонилась к спинке кресла и осталась неподвижной. Литвинов подождал немного и, сообразив, что визит его продолжался уже более двух часов, протянул было руку к шляпе, как вдруг в соседней комнате раздался быстрый скрып тонких лаковых сапогов и, предшествуемый тем же отменным дворянски-гвардейским запахом, вошел Валериан Владимирович Ратмиров.

Литвинов встал со стула и обменялся поклоном с благовидным генералом. А Ирина отняла, не спеша, руку от лица и, холодно посмотрев на своего супруга, промолвила по-французски:

-- А! вот вы уже вернулись! Но который же теперь час?

-- Скоро четыре часа, ma chere amie, а ты еще не одета -- нас княгиня ждать будет, -- отвечал генерал и, изящно нагнув перетянутый стан в сторону Литвинова, с свойственною ему почти изнеженною игривостью в голосе прибавил:

-- Видно, любезный гость заставил тебя забыть время.

Читатель позволит нам сообщить ему на этом месте несколько сведений о генерале Ратмирове. Отец его был естественный... Что вы думаете? Вы не ошибаетесь -- но мы не то желали сказать... естественный сын знатного вельможи Александровских времен и хорошенькой актрисы-француженки. Вельможа вывел сына в люди, но состояния ему не оставил -- и этот сын (отец нашего героя) тоже не успел обогатиться: он умер в чине полковника, в звании полицмейстера. За год до смерти он женился на красивой молодой вдове, которой пришлось прибегнуть под его покровительство. Сын его и вдовы, Валериан Владимирович, по протекции попав в Пажеский корпус, обратил на себя внимание начальства -- не столько успехами в науках.. сколько фронтовой выправкой, хорошими манерами и благонравием (хотя подвергался всему, чему неизбежно подвергались все бывшие воспитанники казенных военных заведений), -- и вышел в гвардию. Карьеру он сделал блестящую благодаря скромной веселости своего нрава, ловкости в танцах, мастерской езде верхом ординарцем на парадах -- большей частью на чужих лошадях -- и, наконец, какому-то особенному искусству фамильярно почтительного обращения с высшими, грустноласкового, почти сиротливого прислуживанья, не без примеси общего, легкого, как пух, либерализма... Этот либерализм не помешал ему, однако, перепороть пятьдесят человек крестьян в взбунтовавшемся белорусском селении, куда его послали для усмирения. Наружностью он обладал привлекательной и необычайно моложавой: гладкий, румяный, гибкий и липкий, он пользовался удивительными успехами у женщин: знатные старушки просто с ума от него сходили. Осторожный по привычке, молчаливый из расчета, генерал Ратмиров, подобно трудолюбивой пчеле, извлекающей сок из самых даже плохих цветков, постоянно обращался в высшем свете -- и без нравственности, безо всяких сведений, но с репутацией дельца, с чутьем на людей и

пониманьем обстоятельств, а главное, с неуклонно твердым желанием добра самому себе видел наконец перед собою все пути открытыми...

Литвинов принужденно усмехнулся, а Ирина только плечами пожала.

-- Ну что, -- промолвила она тем же холодным тоном, -- видели вы графа?

-- Как же, видел. Он приказал тебе кланяться.

-- А! Он все глуп по-прежнему, этот ваш покровитель?

Генерал Ратмиров ничего не отвечал, а только слегка посмеялся в нос, как бы снисходя к опрометчивости женского суждения. Благосклонные взрослые люди таким точно смехом отвечают на вздорные выходки детей.

-- Да, -- прибавила Ирина, -- глупость вашего графа слишком поразительна, а уж я, кажется, на что успела насмотреться.

-- Вы сами меня к нему послали, -- заметил сквозь зубы генерал и, обратившись к Литвинову, спросил его по-русски: -- Пользуется ли он баденскими водами?

-- Я, слава богу, здоров, -- отвечал Литвинов.

-- Это лучше всего, -- продолжал генерал, любезно осклабясь, -- да и вообще в Баден не затем ездят, чтобы лечиться; но здешние воды весьма действительны, je veux dire efficaces; и кто страдает, как я, например, нервическим кашлем.

Ирина быстро встала.

-- Мы еще увидимся с вами, Григорий Михайлович, и, я надеюсь, скоро, проговорила она по-французски, презрительно перебивая мужнину речь, -- а теперь я должна идти одеваться. Эта старая княгиня несносна с своими вечными parties de plaisir, где ничего нет, кроме скуки.

-- Вы сегодня очень строги ко всем, -- пробормотал ее супруг и проскользнул в другую комнату.

Литвинов направился к двери... Ирина его остановила.

-- Вы мне все рассказали, -- промолвила она, -- а главное утаили.

-- Что такое?

-- Вы, говорят, женитесь?

Литвинов покраснел до ушей... Он действительно с намерением не упомянул о Тане; но ему стало страх досадно, во-первых, что Ирина знает о его свадьбе, а во-вторых, что она как будто уличила его в желании скрыть от нее эту самую свадьбу. Он решительно не знал, что сказать, а Ирина не спускала с него глаз.

-- Да, я женюсь, -- проговорил он наконец и тотчас удалился.

Ратмиров вернулся в комнату.

-- Ну что же ты не одеваешься? -- спросил он.

-- Ступайте одни; у меня голова болит.

-- Но княгиня...

Ирина обмерила мужа взглядом с ног до головы, повернулась к нему спиной и ушла в свой кабинет.

XIII

Литвинов был весьма недоволен собою, словно в рулетку проигрался или не сдержал данного слова. Внутренний голос говорил ему, что как жениху, как человеку уже степенному, не мальчику, ему не следовало поддаваться ни подстреканию любопытства, ни обольщениям воспоминаний. "Очень нужно было идти! -- рассуждал он. С ее стороны кокетство одно, прихоть, каприз... Она скучает, ей все приелось, она ухватилась за меня... Иному лакомке вдруг захочется черного хлеба... Ну и прекрасно. Я-то зачем побежал? Разве я могу... не презирать ее? -- Это последнее слово он произнес даже мысленно не без усилия. Конечно, тут опасности никакой нет и быть не может, -- продолжал он свои рассуждения. Ведь я знаю, с кем дело имею. Но все-таки с огнем шутить не следует... Моей ноги у нее не будет". Литвинов самому себе не смел или не мог еще признаться, до какой степени Ирина ему казалась красивою и как сильно она возбуждала его чувство.

День опять прошел тупо и вяло. За обедом Литвинову довелось сидеть возле осанистого бельома с нафабренными усами, который все молчал и только пыхтел да глаза таращил... но, внезапно икнув, оказался соотечественником, ибо тут же с сердцем промолвил по-русски: "А я говорил, что не надо было есть дыни!" Вечером тоже не произошло ничего утешительного: Биндасов в глазах Литвинова выиграл сумму вчетверо больше той, которую у него занял, но ни только не возвратил ему своего долга, а даже с угрозой посмотрел ему в лицо, как бы собираясь наказать его еще чувствительнее именно за то, что он был свидетелем выигрыша. На следующее утро снова нахлынула ватага соотечественников; Литвинов едва-едва от них отделался и, отправившись в горы, сперва наткнулся на Ирину, -- он притворился, что не узнал ее, и быстро прошел мимо, -- потом на Потугина. С Потугиным он заговорил было, но тот неохотно отвечал ему. Он вел за руку нарядно одетую девочку с пушистыми, почти белыми локонами, большими темными глазами на бледном, болезненном личике и с тем особенным, повелительным и нетерпеливым выражением, которое свойственно избалованным детям. Литвинов провел часа два в горах и возвращался домой по Лихтенталевской аллее... Сидевшая на скамейке дама с синим вуалем на лице проворно встала и подошла к нему... Он узнал Ирину.

-- Зачем вы избегаете меня, Григорий Михайлович, -- проговорила она нетвердым голосом, какой бывает у человека, у которого накипело на сердце.

Литвинов смутился.

-- Я вас избегаю, Ирина Павловна?

-- Да, вы... вы...

Ирина казалась взволнованною, почти рассерженною.

-- Вы ошибаетесь, уверяю вас.

-- Нет, не ошибаюсь. Разве я сегодня утром -- вот, когда мы с вами встретились, -- разве я не видела, что вы меня узнали? Скажите, разве вы не узнали меня? Скажите?

-- Я, право... Ирина Павловна...

-- Григорий Михайлович, вы человек прямой, вы всегда говорили правду: скажите, скажите мне, ведь вы узнали меня? вы с намерением отвернулись?

Литвинов взглянул на Ирину. Глаза ее блестели странным блеском, а щеки и губы мертвенно белели сквозь частую сетку вуаля. В выражении ее лица, в самом звуке ее порывистого шепота было что то до того неотразимо скорбное, молящее... Литвинов не мог притворяться долее.

-- Да... я узнал вас. промолвил он не без усилия.

Ирина тихонько вздрогнула и тихонько опустила руки.

-- Отчего же вы не подошли ко мне? -- прошептала она.

-- Отчего... отчего! -- Литвинов сошел в сторону с дорожки, Ирина молча последовала за ним. Отчего? -- повторил он еще раз, и лицо его внезапно вспыхнуло, и чувство, похожее на злобу, стиснуло ему грудь и горло. Вы... вы это спрашиваете, после всего, что произошло между нами? Не теперь, конечно, не теперь, а там... там... в Москве.

-- Но ведь мы с вами решили, ведь вы обещали... -- начала было Ирина.

-- Я ничего не обещал! Извините резкость моих выражений, но вы требуете правды -- так посудите сами: чему, как не кокетству -- признаюсь, для меня непонятному, -- чему, как не желанию испытать, насколько вы еще властны надо мною, могу я приписать вашу... я не знаю, как назвать... вашу настойчивость? Наши дороги так далеко разошлись! Я все забыл, все это переболело давно, я совсем другой человек стал; вы замужем, счастливы, по крайней мере, по наружности, пользуетесь завидным положением в свете; к чему же, зачем это сближение? Что я вам, что вы мне? Мы теперь и понять друг друга не можем, между нами теперь нет уже решительно ничего общего ни в прошедшем, ни в настоящем! Особенно... особенно в прошедшем!

Литвинов произнес всю эту речь торопливо, отрывисто, не поворачивая головы. Ирина не шевелилась и только по временам чуть-чуть протягивала к нему руки. Казалось, она умоляла его остановиться и выслушать ее, а при последних его словах слегка прикусила нижнюю губу, -- как бы подавляя ощущение острого и быстрого уязвления.

-- Григорий Михайлович, -- начала она, наконец, голосом уже более спокойным и отошла еще дальше от дорожки, по которой изредка проходили люди... Литвинов в свою очередь последовал за ней.

-- Григорий Михайлович, поверьте мне: если б я могла вообразить, что у меня осталось на волос власти над вами, я бы первая избегала вас. Если я этого не сделала, если я решилась, несмотря на... на мою прошедшую вину, возобновить знакомство с вами, то это потому... потому...

-- Почему? -- почти грубо спросил Литвинов.

-- Потому, -- подхватила с внезапною силой Ирина, -- что мне стало уже слишком невыносимо, нестерпимо, душно в этом свете, в этом завидном положении, о котором вы говорите; потому что, встретив вас, живого человека, после всех этих мертвых кукол -- вы могли видеть образчики их четвертого дня, там, au Vieux Chateau, -- я обрадовалась как источнику в пустыне, а вы называете меня кокеткой, и подозреваете меня, и отталкиваете меня под тем предлогом, что я действительно была виновата перед вами, а еще больше перед самой собою!

-- Вы сами выбрали свой жребий, Ирина Павловна, угрюмо промолвил Литвинов, по-прежнему не оборачивая голову.

-- Сама, сама... я и не жалуюсь, я не имею права жаловаться, -- поспешно проговорила Ирина, которой, казалось, самая суровость Литвинова доставляла тайную отраду, -- я знаю, что вы должны осуждать меня, я и не оправдываюсь, и только хочу объяснить вам мое чувство, я хочу убедить вас, что мне не до кокетства теперь... Мне кокетничать с вами! Да в этом смыслу нет... Когда я вас увидала, все мое хорошее, молодое во мне пробудилось... то время, когда я еще не выбрала своего жребия, все, что лежит там, в той светлой полосе, за этими десятью годами...

-- Да позвольте же, наконец, Ирина Павловна! Сколько мне известно, светлая полоса в вашей жизни началась именно с той поры, как мы расстались...

Ирина поднесла платок к губам.

-- Это очень жестоко, что вы говорите, Григорий Михайлыч; но я сердиться на вас не могу. О нет, не светлое то было время, не на счастье покинула я Москву, ни одного мгновенья, ни одной минуты счастья я не знала... поверьте мне, что бы ни рассказывали вам. Если б я была счастлива, могла ли бы я говорить с вами так, как я теперь говорю... Я повторяю вам, вы не знаете, что это за люди... Ведь они ничего не понимают, ничему не сочувствуют, даже ума у них нет, ni esprit, ni intelligence, а одно только лукавство да сноровка; ведь, в сущности, и музыка, и поэзия, и искусство им одинаково чужды... Вы скажете, что я ко всему этому была сама довольно равнодушна; но не в такой степени, Григорий Михайлыч... не в такой степени! Не светская женщина теперь перед вами, вам стоит только взглянуть на меня, не львица... так, кажется, нас величают... а бедное, бедное существо, которое, право, достойно сожаления. Не удивляйтесь моим словам... мне не до гордости теперь! Я протягиваю к вам руку как нищая, поймите же это, наконец, как нищая... Я милостыни прошу, -- прибавила она вдруг с невольным, неудержимым порывом, -- я прошу милостыни, а вы...

Голос изменил ей. Литвинов поднял голову и посмотрел на Ирину; она дышала быстро, губы ее дрожали. Сердце в нем вдруг забилось, и чувство злобы исчезло.

-- Вы говорите, что наши дороги разошлись, продолжала Ирина, -- я знаю, вы женитесь по склонности, у вас уже составлен план на всю вашу жизнь, да, это все так, но мы нестали друг другу чужды, Григорий Михайлыч, мы можем еще понять друг друга. Или вы полагаете, что я совсем отупела, что я совсем погрязла в этом болоте? Ах нет, не думайте этого, пожалуйста! Дайте мне душу отвести, прошу вас, ну хоть во имя тех прежних дней, если вы не хотите забыть их. Сделайте так, чтобы наша встреча не пропала даром, это было бы очень горько, она и без того недолго продолжится... Я не умею говорить как следует, но вы поймете меня, потому что я требую малого, очень малого... только немножко участия, только чтобы не отталкивали меня, душу дали бы отвести...

Ирина умолкла, в голосе ее звенели слезы. Она вздохнула и робко, каким-то боковым, ищущим взором посмотрела на Литвинова, протянула ему руку...

Литвинов медленно взял эту руку и слабо пожал ее.

-- Будемте друзьями, -- шепнула Ирина.

-- Друзьями, -- задумчиво повторил Литвинов.

-- Да, друзьями... а если это слишком большое требование, то будемте, по крайней мере, хорошими знакомыми... Будемте запросто, как будто никогда ничего не случалось..

-- Как будто ничего не случалось... -- повторил опять Литвинов. Вы сейчас сказали мне, Ирина Павловна, что я не хочу зарыть прежних дней... Ну, а если я не могу забыть их?

Блаженная улыбка мелькнула на лице Ирины и тотчас же исчезла, сменившись заботливым, почти испуганным выражением.

-- Будьте, как я, Григорий Михайлыч, помните только хорошее; а главное, дайте мне теперь слово... честное слово...

-- Какое?

-- Не избегать меня... не огорчать меня понапрасну... Вы обещаетесь? скажите!

-- Да.

-- И всякие дурные мысли из головы выкинете?

-- Да... но понятъ вас я все-таки отказываюсь.

-- Это и не нужно... а впрочем, погодите, вы меня поймете. Но вы обещаетесь?

-- Я уже сказал: да.

-- Ну спасибо. Смотрите же, я привыкла вам верить. Я буду ждать вас сегодня, завтра, я из дому не буду выходить. А теперь я должна вас оставить. Герцогиня идет по аллее... Она увидала меня, и я не могу не подойти к ней... До свиданья... Дайте же мне вашу руку, vite, vite. До свидания.

И, крепко стиснувши руку Литвинова, Ирина направилась к особе средних лет и басовитой наружности, тяжело выступавшей по песчаной дорожке в сопровождении двух других дам и ливрейного, чрезвычайно благообразного лакея.

-- Eh bonjour, chere madame, -- проговорила особа, между тем как Ирина почтительно приседала перед нею. Comment alles-vous aujourd'hui? Venez un peu avec moi.

-- Vorte Altesse a trop de bonte, -- послышался вкрадчивый голос Ирины.

XIV

Литвинов дал удалиться герцогине со всей ее свитой и тоже вышел на аллею. Он не мог отдать себе ясного отчета в том, что он ощущал: и стыдно ему было, и даже страшно, и самолюбие его было польщено... Нежданное объяснение с Ириной застигло его врасплох; ее горячие, быстрые слова пронеслись над ним, как грозовой ливень. "Чудаки эти светские женщины, -- думал он, -- никакой в них нет последовательности... И как извращает их среда, где они живут и безобразие которой они сами чувствуют!.. " Собственно, он совсем не то думал, а только машинально повторял эти избитые фразы, как бы желая тем самым отделаться от других, более жутких дум. Он понимал, что серьезно размышлять ему теперь не следовало, что ему, вероятно, пришлось бы обвинить себя, и он шел замедленными шагами, чуть не усиленно обращая внимание на все, что попадалось ему навстречу... Он вдруг очутился перед скамейкой, увидал возле нее чьи-то ноги, повел вверх по ним глазами... Ноги эти принадлежали человеку, сидевшему на скамейке и читавшему газету; человек этот оказался Потугиным. Литвинов издал легкое восклицание. Потугин положил газету на колени и внимательно, без улыбки посмотрел на Литвинова, и Литвинов посмотрел на Потугина тоже внимательно и тоже без улыбки.

-- Можно сесть возле вас? -- спросил он наконец.

-- Садитесь, сделайте одолжение. Только предуведомляю вас: если вы хотите со мной разговор вести, не прогневайтесь -- я нахожусь теперь в самом мизантропическом настроении и все предметы представляются мне в преувеличенно скверном виде.

-- Это ничего, Созонт Иваныч, -- промолвил Литвинов, опускаясь на скамью, -- это даже очень кстати... Но отчего на вас нашел такой стих?

-- По-настоящему, мне бы не следовало злиться, -- начал Потугин. -- Я вот сейчас вычитал в газете проект о судебных преобразованиях в России и с истинным удовольствием вижу, что и у нас хватились, наконец, ума-разума и не намерены более, под предлогом самостоятельности там, народности или оригинальности, к чистой и ясной европейской логике прицеплять доморощенный хвостик, а, напротив, берут хорошее чужое целиком. Довольно одной уступки в крестьянском деле... Подите-ка развяжитесь с общим владением!.. Точно, точно, мне не следовало бы злиться; да, на мою беду, наскочил я на русский самородок, побеседовал с ним, а эти самородки да самоучки меня в самой могиле тревожить будут! -- Какой самородок? -- спросил Литвинов. -- Да тут такой господин бегает, гениальным музыкантом себя воображает. "Я, говорит, конечно, ничего, я нуль, потому что я не учился, но у меня не в пример больше мелодий и больше идей, чем у Мейербера". Во-первых, я скажу: зачем же ты не учился? а во-вторых, не то что у Мейербера, а у последнего немецкого флейтщика, скромно высвистывающего свою партию в последнем немецком оркестре, в двадцать раз больше идей, чем у всех наших самородков; только флейтщик хранит про себя эти идеи и не суется с ними вперед в отечестве Моцартов и Гайднов; а наш брат самородок "трень-брень" вальсик или романсик, и смотришь -- уже руки в панталоны и рот презрительно скривлен: я, мол, гений. И в живописи то же самое, и везде. Уж эти мне самородки! Да кто же не знает, что щеголяют ими только там, где нет ни настоящей, в кровь и плоть перешедшей науки, ни настоящего искусства? Неужели же не пора сдать в архив это щеголянье, этот пошлый хлам вместе с известными фразами о том, что у нас, на Руси, никто с голоду не умирает, и езда по дорогам самая скорая, и что мы шапками всех закидать можем? Лезут мне в глаза с даровитостью русской натуры, с гениальным инстинктом, с Кулибиным... Да какая это даровитость, помилуйте, господа? Это лепетанье спросонья, а не то полузвериная сметка. Инстинкт! Нашли чем хвастаться! Возьмите муравья в лесу и отнесите его на версту от его кочки: он найдет дорогу к себе домой; человек ничего подобного сделать не может; что ж? разве

он ниже муравья? Инстинкт, будь он распрегениальный, не достоин человека: рассудок, простой, здравый, дюжинный рассудок -- вот наше прямое достояние, наша гордость; рассудок никаких таких штук не выкидывает; оттого-то все на нем и держится. А что до Кулибина, который, не зная механики, смастерил какие-то пребезобразные часы, так я бы эти самые часы на позорный столб выставить приказал; вот, мол, смотрите, люди добрые, как не надо делать. Кулибин сам тут не виноват, да дело его дрянь. Хвалить Телушкина, что на адмиралтейский шпиль лазил, за смелость и ловкость -- можно; отчего не похвалить? Но не следует кричать, что, дескать, какой он нос наклеил немцам-архитекторам! и на что они? только деньги берут... Никакого он им носа не наклеивал: пришлось же потом леса вокруг шпиля поставить до починить его обыкновенным порядком. Не поощряйте, ради бога, у нас на Руси мысли, что можно чего-нибудь добиться без учения! Нет; будь ты хоть семи пядей во лбу, а учись, учись с азбуки! Не то молчи да сиди, поджавши хвост! Фу! даже жарко стало!

Потугин снял шляпу и помахал на себя платком.

-- Русское художество, -- заговорил он снова, -- русское искусство!.. Русское пруженье я знаю и русское бессилие знаю тоже, а с русским художеством, виноват, не встречался. Двадцать лет сряду поклонялись этакой пухлой ничтожности, Брюллову, и вообразили, что и у нас, мол, завелась школа, и что она даже почище будет всех других... Русское художество, ха-ха-ха! хо-хо!

-- Но, однако, позвольте, Созонт Иваныч, -- заметил Литвинов. Глинку вы, стало быть, тоже на признаете?

Потугин почесал у себя за ухом.

-- Исключения, вы знаете, только подтверждают правило, но и в этом случае мы не могли обойтись без хвастовства! Сказать бы, например, что Глинка был действительно замечательный музыкант, которому обстоятельства, внешние и внутренние, помешали сделаться основателем русской оперы, -- никто бы спорить не стал; но нет, как можно! Сейчас надо его произвести в генерал-аншефы, в обер-гофмаршалы по части музыки да другие народы кстати оборвать: ничего, мол, подобного у них нету, и тут же указывают вам на какого-нибудь "мощного" доморощенного гения, произведения которого не что иное, как жалкое подражание второстепенным чужестранным деятелям -- именно второстепенным: этим легче подражать. Ничего подобного? О, убогие дурачки-варвары, для которых не существует преемственности искусства, и художники нечто вроде Раппо: чужак, мол, шесть пудов одной рукой поднимает, а наш -- целых двенадцать! Ничего подобного??! А у меня, осмелюсь доложить вам, из головы следующее воспоминание не выходит. Посетил я нынешнею весной Хрустальный дворец возле Лондона; в этом дворце помещается, как вам известно, нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность -- энциклопедия человечества, так сказать надо. Ну-с, расхаживал я, расхаживал мимо всех этих машин и орудий и статуй великих людей; и подумал я в те поры: если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального дворца все то, что тот народ выдумал, -- наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная: все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут -- эти наши знаменитые продукты -- не нами выдуманы. Подобного опыта даже с Сандвичевскими островами произвести невозможно; тамошние жители какие-то лодки да копья изобрели: посетители заметили бы их отсутствие. Это клевета! это слишком резко -- скажете вы, пожалуй... А я скажу: во-первых, что я не умею порицать, воркуя; а во-вторых, что, видно, не одному черту, а и самому себе прямо в глаза

посмотреть никто не решается, и не одни дети у нас любят, чтоб их баюкали. Старые наши выдумки к нам приползли с Востока, новые мы с грехом пополам с Запада перетащили, а мы все продолжаем толковать о русском самостоятельном искусстве! Иные молодцы даже русскую науку открыли: у нас, мол, дважды два тоже четыре, да выходит оно как-то бойчее.

-- Но постойте, Созонт Иваныч, -- воскликнул Литвинов. Постойте! Ведь посылаем же мы что-нибудь на всемирные выставки, и Европа чем-нибудь да запасается у нас.

-- Да, сырьем, сырыми продуктами. И заметьте, милостивый государь: это наше сырье большею частию только потому хорошо, что обусловлено другими прескверными обстоятельствами: щетина наша, например, велика и жестка оттого, что свиньи плохи; кожа плотна и толста оттого, что коровы худы; сало жирно оттого, что вываривается пополам с говядиной... Впрочем, что же я с вами об этом распространяюсь: вы ведь занимаетесь технологией, лучше меня все это знать должны. Говорят мне: изобретательность! Российская изобретательность! Вот наши господа помещики и жалуются горько и терпят убытки, оттого что не существует удовлетворительной эерносушилки, которая избавила бы их от необходимости сажать хлебные снопы в овины, как во времена Рюрика: овины эти страшно убыточны, не хуже лаптей или рогож, и горят они беспрестанно. Помещики жалуются, а зерносушилок все нет как нет. А почему их нет? Потому что немцу они не нужны; он хлеб сырым молотит, стало быть, и не хлопочет об их изобретении, а мы... не в состоянии! Не в состоянии -- и баста! Хоть ты что! С нынешнего дня обещаюсь, как только подвернется мне самородок или самоучка, -- стой, скажу я ему, почтенный! а где зерносушилка? подавай ее! Да куда им! Вот поднять старый, стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Вен-Симона или Фурие, и, почтительно возложив его на голову, носиться с ним, как со святыней, -- это мы в состоянии; или статейку настрочить об историческом и современном значении пролетариата в главных городах Франции -- это тоже мы можем; а попробовал я как-то предложить одному такому сочинителю и политико-эконому, вроде вашего господина Ворошилова, назвать мне двадцать городов в этой самой Франции, так знаете ли, что из этого вышло? Вышло то, что политико-эконом, с отчаяния, в числе французских городов назвал наконец Монфермель, вспомнив, вероятно, польдекоковский роман. И пришел мне тут на память следующий анекдот. Пробирался я однажды с ружьем и собакой по лесу...

-- А вы охотник? -- спросил Литвинов.

-- Постреливаю помаленьку. Пробирался я в болото за бекасами; натолковали мне про это болото другие охотники. Гляжу, сидит на поляне перед избушкой купеческий приказчик, свежий и ядреный, как лущеный орех, сидит, ухмыляется, чему -- неизвестно. И спросил я его: "Где, мол, тут болото, и водятся ли в нем бекасы?" -- "Пожалуйте, пожалуйте, -- запел он немедленно и с таким выражением, словно я его рублем подарил, -- с нашим удовольствием-с, болото первый сорт; а что касательно до всякой дикой птицы -- и боже ты мой!

-- в отличном изобилии имеется". Я отправился, но не только никакой дикой птицы не нашел, самое болото давно высохло. Ну скажите мне на милость, зачем врет русский человек? Политико-эконом зачем врет, и тоже о дикой птице?

Литвинов ничего не отвечал и только вздохнул сочувственно.

-- А заведите речь с тем же политико-экономом, продолжал Потугин, -- о самых трудных задачах общественной науки, но только вообще, без фактов... фрррр! так птицей и взовьется, орлом. Мне раз, однако, удалось поймать такую птицу: приманку я употребил, как вы изволите увидеть,

хорошую, видную. Толковали мы с одним из наших нынешних "вьюношей" о различных, как они выражаются, вопросах. Ну-с, гневался он очень, как водится; брак, между прочим, отрицал с истинно детским ожесточением. Представлял я ему такие резоны, сякие... как об стену! Вижу: подъехать ни с какой стороны невозможно. И блесни мне тут счастливая мысль! "Позвольте доложить вам, -- начал я, -- с "вьюношами" надо всегда говорить почтительно, -- я вам, милостивый государь, удивляюсь; вы занимаетесь естественными науками -- и до сих пор не обратили внимания на тот факт, что все плотоядные и хищные животные, звери, птицы, все те, кому нужно отправляться на добычу, трудиться над доставлением живой пищи и себе, и своим детям... а вы ведь человека причисляете к разряду подобных животных?" -- "Конечно, причисляю, -- подхватил "вьюноша", -- человек вообще не что иное, как животное плотоядное". -- "И хищное", -- прибавил я. "И хищное", -- подтвердил он. "Прекрасно сказано, -- подтвердил я. Так вот я и удивляюсь тому, как вы не заметили, что все подобные животные пребывают в единобрачии?" "Вьюноша" дрогнул. "Как так?" -- "Да так же. Вспомните льва, волка, лисицу, ястреба, коршуна; да и как же им поступать иначе, соблаговолите сообразить? И вдвоем-то детей едва выкормишь". Задумался мой "вьюноша". "Ну, говорит, в этом случае зверь человеку не указ". Тут я обозвал его идеалистом, и уж огорчился же он! Чуть не заплакал. Я должен был его успокоить и обещать ему, что не выдам его товарищам. Заслужить название идеалиста -- легко ли! В том-то и штука, что нынешняя молодежь ошиблась в расчете. Она вообразила, что время прежней, темной, подземной работы прошло, что хорошо было старичкам-отцам рыться наподобие кротов, а для нас-де эта роль унизительна, мы на открытом воздухе действовать будем, мы будем действовать... Голубчики! и ваши детки еще действовать не будут, а вам не угодно ли в норку, в норку опять по следам старичков?

Наступило небольшое молчание.

-- Я, сударь мой, такого мнения, -- начал опять Потугин, -- что мы не одним только знанием, искусством, правом обязаны цивилизации, но что самое даже чувство красоты и поэзии развивается и входит в силу под влиянием той же цивилизации и что так называемое народное, наивное, бессознательное творчество есть нелепость и чепуха. В самом Гомере уже заметны следы цивилизации утонченной и богатой; самая любовь облагораживается ею. Славянофилы охотно повесили бы меня за подобную ересь, если б они не были такими сердобольными существами; но я все-таки настаиваю на своем -- и сколько бы меня ни потчевали госпожой Кохановской и "Роем на спокое", я этого triple extrait de mougik russe нюхать не стану, времени до времени необходимо нужно уверить себя, что оно не совсем офранцузилось, и для которого, собственно, и сочиняется эта литература en cuir de Russie. Попытайтесь прочесть простолюдину -- настоящему -- самые хлесткие, самые "народные" места из "Роя": он подумает, что вы ему сообщаете новый заговор от лихоманки или запоя. Повторяю, без цивилизации нет и поэзии. Хотите ли уяснить себе поэтический идеал нецивилизованного русского человека? Разверните наши былины, наши легенды. Не говорю уже о том, что любовь в них постоянно является как следствие колдовства, приворота, производится питием "забыдущим" и называется даже присухой, зазнобой; не говорю также о том, что наша так называемая эпическая литература одна, между всеми другими, европейскими и азиятскими, одна, заметьте, не представила -- коли Ваньку Таньку не считать -- никакой типической пары любящихся существ; что святорусский богатырь свое знакомство с суженой-ряженой всегда начинает с того, что бьет ее по белому телу "нежалухою", отчего "и женский пол пухол живет", -- обо всем этом я говорить не стану; но позволю себе обратить ваше внимание на изящный образ юноши, жень-премье, каким он рисовался воображению первобытного, нецивилизованного славянина. Вот, извольте посмотреть: идет жень-премье; шубоньку сшил он себе кунью, по всем швам строченную, поясок семишелковый

под самые мышки подведен, персты закрыты рукавчиками, ворот в шубе сделан выше головы, спереди-то не видать лица румяного, сзади-то не видать шеи беленькой, шапочка сидит на одном ухе, а на ногах сапоги сафьянные, носы шилом, пяты востры -- вокруг носика-то носа яйцо кати; под пяту-пяту воробей лети-перепурхивай. И идет молодец частой, мелкой походочкой, той знаменитой "щепливой" походкой, которою наш Алкивиад, Чурило Пленкович, производил такое изумительное, почти медицинское действие в старых бабах и молодых девках, той самой походкой, которою до нынешнего дня так неподражаемо семенят наши по всем суставчикам развинченные половые, эти сливки, этот цвет русского щегольства, это nec ultra русского вкуса. Я это не шутя говорю: мешковатое ухарство -- вот наш художественный идеал. Что, хорош образ? Много в нем материалов для живописи, для ваяния? А красавица, которая пленяет юношу и у которой "кровь в лице быдто у заицы?.. " Но вы, кажется, не слушаете меня?

Литвинов встрепенулся. Он действительно не слышал, что говорил ему Потугин: он думал, неотступно думал об Ирине, о последнем свидании с нею...

-- Извините меня, Созонт Иваныч, -- начал он, -- но я опять к вам с прежним вопросом насчет... насчет госпожи Ратмировой.

Потугин сложил газету и засунул ее в карман.

-- Вам опять хочется узнать, как я с ней познакомился?

-- Нет, не то; я бы желал услыхать ваше мнение... о той роли, которую она играла в Петербурге. В сущности, какая это была роль?

-- А я, право, не знаю, что сказать вам, Григорий Михайлыч. Я сошелся с госпожою Ратмировой довольно близко... но совершенно случайно и ненадолго. Я в ее мир не заглядывал, и что там происходило -- осталось для меня неизвестным. Болтали при мне кое-что, да вы знаете, сплетня царит у нас не в одних демократических кружках. Впрочем, я и не любопытствовал. Однако я вижу, -- прибавил он, помолчав немного, -- она вас занимает.

-- Да; мы побеседовали раза два довольно откровенно. Я все-таки себя спрашиваю: искренна ли она?

Потугин потупился.

-- Когда увлекается -- искренна, как все страстные женщины. Гордость также иногда мешает ей лгать.

-- А она горда? Я скорей полагаю -- капризна.

-- Горда как бес; да это ничего.

-- Мне кажется, она иногда преувеличивает...

-- И это ничего; все-таки она искренна. Ну, а вообще говоря, у кого захотели вы правды? Лучшие из этих барынь испорчены до мозга костей.

-- Но, Созонт Иваныч, вспомните, не сами ли вы назвали себя ее приятелем? Не сами ли вы почти насильно повели меня к ней?

-- Что ж такое? Она просила меня вас доставить; я и подумал: отчего же нет? А я действительно ее приятель. Она не без хороших качеств: очень добра, то есть щедра, то есть дает другим, что ей не совсем нужно. Впрочем, ведь вы сами должны знать ее не хуже меня.

-- Я знавал Ирину Павловну десять лет тому назад; а с тех пор...

-- Эх, Григорий Михайлыч, что вы говорите! Характер людской разве меняется? Каким в колыбельку, таким и в могилку. Или, может быть... -- Тут Потугин нагнулся еще ниже, -- может быть, вы ей в руки попасть боитесь? Оно точно... Да ведь чьих-нибудь рук не миновать.

Литвинов насильственно засмеялся.

-- Вы полагаете?

-- Не миновать. Человек слаб, женщина сильна, случай всесилен, примириться с бесцветною жизнью трудно, вполне себя позабыть невозможно... А тут красота и участие, тут теплота и свет, -- где же противиться? И побежишь, как ребенок к няньке. Ну, а потом, конечно, холод, и мрак, и пустота... как следует. И кончится тем, что ото всего отвыкнешь, все перестанешь понимать. Сперва не будешь понимать, как можно любить; а потом не будешь понимать, как жить можно.

Литвинов посмотрел на Потугина, и ему показалось, что он никогда еще не встречал человека более одинокого, более заброшенного... более несчастного. Он не робел на этот раз, не чинился; весь понурый и бледный, с головою на груди и руками на коленях, он сидел неподвижно и только усмехался унылой усмешкой. Жалко стало Литвинову этого бедного, желчного чудака.

-- Мне Ирина Павловна, между прочим, упомянула, начал он вполголоса, -- об одной своей хорошей знакомой, которую звали, помнится, Бельской или Дольской...

Потугин вскинул на Литвинова свои печальные глазки.

-- А!-- промолвил он глухо. Она упомянула... ну и что ж? Впрочем, прибавил он, как-то неестественно зевнув, -- мне домой пора, обедать. Прощения просим.

Он вскочил со скамейки и проворно удалился, прежде чем Литвинов успел промолвить слово... Досада сменила в нем жалость, досада, разумеется, на самого себя. Всякого рода нескромность была ему несвойственна, он хотел выразить свое участие Потугину, а вышло нечто подобное неловкому намеку. С тайным неудовольствием на сердце вернулся он в свою гостиницу.

"Испорчена до мозгу костей, -- думал он несколько времени спустя, -... но горда как бес. Она, эта женщина, которая чуть не ни колени становится передо мною, горда? горда, а не капризна?"

Литвинов попытался изгнать из головы образ Ирины; но это ему не удалось. Он именно потому и не вспоминал о своей невесте; он чувствовал: сегодня тот образ своего места не уступит. Он положил, не тревожась более, ждать разгадки всей этой "странной истории"; разгадка эта не могла замедлиться, и Литвинов нисколько не сомневался в том, что она будет самая безобидная и естественная. Так думал он, а между тем не один образ Ирины не покидал его -- все слова ее поочередно приходили ему на память.

Кельнер принес ему записку: она была от той же Ирины.

"Если вам нечего делать сегодня вечером, приходите: я не буду одна; у меня гости -- и вы еще ближе увидите наших, наше общество. Мне очень хочется, чтобы вы их увидали: мне сдается, что

они покажут себя в полном блеске. Надобно ж вам знать, каким я воздухом дышу. Приходите; я буду рада вас видеть, да и вы не соскучаетесь (Ирина хотела сказать: соскучитесь). Докажите мне, что наше сегодняшнее объяснение навсегда сделало невозможным всякое недоразумение между нами. Преданная вам И. ".

Литвинов надел фрак и белый галстух и отправился к Ирине. "Все это неважно, -- мысленно повторял он дорогой, -- а посмотреть на них... отчего не посмотреть? Это любопытно". Несколько дней тому назад эти самые люди возбуждали в нем другое чувство: они возбуждали в нем негодованье.

Он шел учащенными шагами, с нахлобученною на глаза шляпой, с напряженною улыбкой на губах, а Бамбаев, сидя перед кофейной Вебера и издали указывая на него Ворошилову и Пищалкину, восторженно воскликнул: "Видите вы этого человека? Это камень! Это скала!! это гранит!!!"

XV

Литвинов застал у Ирины довольно много гостей. В углу, за карточным столом, сидело трое из генералов пикника: тучный, раздражительный и снисходительный. Они играли в вист с болваном, и нет слов на человеческом языке, чтобы выразить важность, с которою они сдавали, брали взятки, ходили с треф, ходили с бубен... уж точно государственные люди! Предоставив разночинцам, aux bourgeois, обычные во время игры присказки и прибаутки, господа генералы произносили лишь самые необходимые слова; тучный генерал позволил себе, однако, между двумя сдачами энергически отчеканить: "Ct satane as de pique!" В числе посетительниц Литвинов узнал дам, участниц пикника; но были также и другие, которых он еще не видал. Была одна до того старая, что казалось, вот-вот сейчас разрушится: она поводила обнаженными, страшными, темно-серыми плечами и, прикрыв рот веером, томно косилась на Ратмирова уже совсем мертвыми глазами; он за ней ухаживал; ее очень уважали в высшем свете как последнюю фрейлину императрицы Екатерины. У окна, одетая пастушкой, сидела графиня Ш., "царица ос", окруженная молодыми людьми; в числе их отличался своей надменной осанкой, совершенно плоским черепом и бездушно-зверским выражением лица, достойным бухарского хана или римского Гелиогабала, знаменитый богач и красавец Фиников; другая дама, тоже графиня, известная под коротким именем Lise, разговаривала с длинноволосым белокурым и бледным "спиритом"; рядом стоял господин, тоже бледный и длинноволосый, и значительно посмеивался: господин этот также верил в спиритизм, но, сверх того, занимался пророчеством и, на основании апокалипсиса и талмуда, предсказывал всякие удивительные события; ни одно из этих событий не совершалось -- а он не смущался и продолжал пророчествовать. За фортепьянами поместился тот самый самородок, который возбудил такое негодование в Потугине; он брал аккорды рассеянною рукой d'une main distraite, и небрежно посматривал кругом. Ирина сидела на диване между князем Коко и г-жою Х., известною некогда красавицей и всероссийской умницей, давным-давно превратившеюся в дрянной сморчок, от которого отдавало постным маслом и выдохшимся ядом. Увидев Литвинова, Ирина покраснела, встала и, когда он подошел к ней, крепко пожала ему руку. На ней было черное креповое платье с едва заметными золотыми украшениями; ее плечи белели матовою белизной, а лицо, тоже бледное под мгновенною алою волной, по нем разлитою,

дышало торжеством красоты, и не одной только красоты: затаенная, почти насмешливая радость светилась в полузакрытых глазах, трепетала около губ и ноздрей...

Ратмиров приблизился к. Литвинову и, поменявшись с ним обычными приветствиями, не сопровожденными, однако, обычною игривостью, представил его двум-трем дамам: старой развалине, царице ос, графине Лизе... Они приняли его довольно благосклонно. Литвинов не принадлежал к их кружку... но он был собой недурен, даже очень, и выразительные черты его молодого лица возбудили их внимание. Только он не сумел упрочить за собою это внимание; он отвык от общества и чувствовал некоторое смущение, а тут еще тучный генерал на него уставился. "Ага! рябчик! вольнодумец! -- казалось, говорил этот неподвижный, тяжелый взгляд, -приполз-таки к нам; ручку, мол, пожалуйте". Ирина пришла на помощь Литвинову Она так ловко распорядилась, что он очутился в уголку, возле двери, немного позади ее. Заговаривая с ним, ей всякий раз приходилось к нему оборачиваться, и он всякий раз любовался красивым изгибом ее блестящей шеи, он впивал тонкий запах ее волос. Выражение благодарности, глубокой и тихой, не сходило с ее лица: он не мог не сознаться, что именна благодарность выражали эти улыбки, эти взоры, и сам он весь закипал тем же чувством, и совестно становилось ему, и сладко, и жутко... И в то же время она постоянно как будто хотела сказать: "Ну что? каковы?" Особенно ясно слышался Литвинову этот безмолвный вопрос, как только кто-нибудь из присутствовавших произносил или совершал пошлость, а это случилось не однажды во время вечера. Раз даже она не выдержала и громко засмеялась.

Графиня Лиза, дама весьма суеверная и склонная ко всему чрезвычайному, натолковавшись досыта с белокурым спиритом об Юме, вертящихся столах, самоиграющих гармониках и т. п., кончила тем, что спросила его, существуют ли такие животные, на которые действует магнетизм.

-- Одно такое животное, во всяком случае, существует, -- отозвался издали князь Коко. Вы ведь знаете Мильвановского? Его при мне усыпили, и он храпел даже, ей-ей!

-- Вы очень злы, mon prince; я говорю о настоящих животных, je parle des betes.

-- Mais moi aussi, madame, je parle d'une bete...

-- Есть и настоящие, -- вмешался спирит, -- например, раки; они очень нервозны и легко впадают в каталепсию.

Графиня изумилась.

-- Как? Раки? Неужели? Ах, это чрезвычайно любопытно! Вот это я бы посмотрела! Мсье Лужин, -- прибавила она, обратившись к молодому человеку с каменным, как у новых кукол, лицом и каменными воротничками (он славился тем, что оросил это самое лицо и эти самые воротнички брызгами Ниагары и Нубийского Нила, впрочем ничего не помнил изо всех своих путешествий и любил одни русские каламбуры...), -- мсье Лужин, будьте так любезны, достаньте нам рака. Мсье Лужин осклабился. -- Живого-с или только живо? -- спросил он. Графиня не поняла его. -- Mais oui, рака, -- повторила она, -- une ecrevisse. -- Как, что такое? рака? рака? -- строго вмешалась графиня Ш. Отсутствие мсье Вердие ее раздражало; она понять не могла, зачем Ирина не пригласила этого прелестнейшего из французов. Развалина, уже давно ничего не понимавшая -- притом и глухота ее одолевала, -- только помотала головою. -- Oui, oui, vous allez voir.. Мсье Лужин, пожалуйста... Молодой путешественник поклонился, вышел и возвратился вскоре. Кельнер выступал за ним и, улыбаясь во весь рот, нес блюдо, на котором виднелся большой черный рак. -- Voici, madame,

воскликнул Лужин, -- теперь можно приступить к операции рака. Ха, ха, ха! (Русские люди всегда первые смеются собственным остротам.)

-- Хе, хе, хе!-- снисходительно, в качестве патриота и покровителя всяких отечественных продуктов, отозвался князь Коко.

(Просим читателя не удивляться и не негодовать: кто может отвечать за себя, что, сидя в партере Александринского театра и охваченный его атмосферой, не хлопал еще худшему каламбуру?)

-- Merci, merci, -- промолвила графиня. Allons, allons, monsieur Fox, montrez-nous ca.

Кельнер поставил блюдо на круглый столик. Произошло небольшое движение между гостями; несколько голов вытянулось; одни генералы за карточным столом сохранили невозмутимую торжественность позы. Спирит взъерошил свои волосы, нахмурился и, приблизившись к столику, начал поводить руками по воздуху: рак топорщился, пятился и приподнимал клешни. Спорит повторил и участил свои движения: рак по-прежнему топорщился.

-- Mais que doit-elle donc faire? -- спросила графиня.

-- Elle doa rester immobile et se dresser sur sa quiou, отвечал с сильным американским акцентом г-н Фокс, судорожно потрясая пальцами над блюдом; но магнетизм не действовал, рак продолжал шевелиться.

Спирит объявил, что он не в ударе, и с недовольным видом отошел от столика. Графиня принялась утешать его, уверяя, что даже с мсье Юмом случались иногда подобные неудачи... Князь Коко подтвердил ее слова. Знаток апокалипсиса и талмуда подошел украдкой к столику и, быстро, но сильно тыкая пальцами в направлении рака, также попытал свое счастье, но безуспешно: признаков каталепсии не оказалось. Тогда призвали кельнера и велели ему унести рака, что он и исполнил с прежнею улыбкой во весь рот; слышно было, как он фыркнул за дверями... В кухне потом много смеялись uber diese Russen. Самородок, который продолжал брать аккорды во время опытов над раком, придерживаясь минорных тонов, потому нельзя ведь знать, как что действует, -- самородок сыграл свой неизменный вальс и, разумеется, удостоился самого лестного одобрения. Увлеченный соревнованием, граф Х., наш несравненный дилетант (смотри главу I), "сказал" шансонетку своего изобретения, целиком выкраденную у Оффенбаха. Ее игривый припев на слова: "quel oeuf? quel boeuf?" -- заставил закачаться вправо и влево почти все дамские головы; одна даже застонала слегка, и неотразимое, неизбежное слово "Charmant! charmant!" промчалось по всем устам. Ирина переглянулась с Литвиновым и опять затрепетало около ее губ то затаенное, насмешливое выражение... Но еще сильнее заиграло оно несколько мгновений спустя, оно приняло даже злорадный оттенок, когда князь Коко, этот представитель и защитник дворянских интересов, вздумал излагать свои воззрения перед тем же самым спиритом и, разумеется, немедленно пустил в ход свою знаменитую фразу о потрясении собственности в России, причем, конечно, досталось и демократам. Американская кровь заговорила в спирите: он начал спорить. Князь, как водится, тотчас принялся кричать во всю голову, вместо всяких доводов беспрестанно повторяя: c'est absurde! cela n'a pas le sens commun! Богач Фиников принялся говорить дерзости, не разбирая, к кому они относились; талмудист запищал, сама графиня Ш. задребезжала... Словом, поднялся почти такой же несуразный гвалт, как у Губарева; только разве вот что -- пива не было да табачного дыма и одежда на всех была получше. Ратмиров попытался восстановить тишину генералы изъявили неудовольствие, послышалось восклицание Бориса: "Encore cette satanee politique!), но попытка не удалась, и тут же находившийся сановник из числа

мягко-пронзительных, взявшись представить le resume de la question en peu de mots потерпел поражение; правда, он там мямлил и повторялся, так очевидно не умел, ли выслушивать, ни понимать возражения и так, несомненно, сам не ведал, в чем, собственно, состояла la question, что другого исхода ожидать было невозможно; а тут еще Ирина исподтишка подзадоривала и натравливала друг на друга споривших, то и дело оглядываясь на Литвинова и слегка кивая ему... А он сидел как очарованный, ничего не слышал и только ждал, когда сверкнут опять перед ним эти великолепные глаза, когда мелькнет это бледное нежное, злое, прелестное лицо... Кончилось тем, что дамы взбунтовались и потребовали прекращения спора... Ратмиров упросил дилетанта повторить свою шансонетку, и самородок снова сыграл свой вальс...

Литвинов остался за полночь и ушел позднее всех. Разговор в течение вечера коснулся множества предметов, тщательно избегая все мало-мальски интересное; генералы, окончив свою величественную игру, величественно к нему присоединились: влияние этих государственных людей сказалось тотчас. Речь зашла о парижских полусветских знаменитостях, имена и таланты которых оказались всем коротко известными, о последней пиесе Сарду, о романе Абу, о Катти в "Травиате". Кто-то предложил играть в "секретари", au secretaire; но это не удалось. Ответы выдавались плоские и не без грамматических ошибок; тучный генерал рассказал, что он однажды на вопрос: "Qu'est ce que l'amour?" -- отвечал: "Une colique remontee au coeur" -- и немедленно захохотал своим деревянным хохотом; развалина с размаху ударила его веером по руке; кусок белил свалился с ее лба от этого резкого движения. Высохший сморчок упомянул было о славянских княжествах и о необходимости православной пропаганды за Дунаем, но, не найдя отголоска, зашипел и стушевался. В сущности, больше всего толковали об Юме; даже "царица ос" рассказала, как по ней ползали руки и как она их видела и надела на одну из них свое собственное кольцо. Ирине, точно, пришлось торжествовать: если б Литвинов обращал даже больше внимания на то, что говорилось вокруг него, он все-таки не вынес бы ни одного искреннего слова, ни одной дельной мысли, ни одного нового факта изо всей этой бессвязной и безжизненной болтовни. В самых криках и возгласах не слышалось увлечения; в самом порицании не чувствовалось страсти; лишь изредка, из-под личины мнимо-гражданского негодования, мнимо-презрительного равнодушия, плаксивым писком пищала боязнь возможных убытков да несколько имен, которых потомство не забудет, произносилось со скрипением зубов... И хоть бы капля живой струи подо всем этим хламом и сором! Какое старье, какой ненужный вздор, какие плохие пустячки занимали все эти головы, эти души, и не в один только этот вечер занимали их они, не только в свете, но и дома, во все часы и дни, во всю ширину и глубину их существования! И какое невежество в конце концов! Какое непонимание всего, на чем зиждется, чем украшается человеческая жизнь!

Прощаясь с Литвиновым, Ирина снова стиснула ему руку и знаменательно шепнула: "Ну что? Довольны вы? Насмотрелись? Хорошо?" Он ничего не отвечал ей и только поклонился тихо и низко.

Оставшись наедине с мужем, Ирина хотела было уйти к себе в спальню... Он остановил ее.

-- Je vous ai beaucoup admiree ce soir, madame, промолвил он, закуривая папироску и опираясь на камин, -- vous vous estes parfaitement moquee de nous tous.

-- Pas plus cette fois-ci que les autres, -- равнодушно отвечала она.

-- Как прикажете понять вас? -- спросил Ратмиров.

-- Как хотите.

-- Гм. C'est clair. -- Ратмиров осторожно, по-кошачьи, стряхнул пепел папироски концом длинного ногтя на мизинце. -- Да, кстати! Этот новый ваш знакомец -- как бишь его?.. господин Литвинов, -- должно быть, пользуется репутацией очень умного человека.

При имени Литвинова Ирина быстро обернулась.

-- Что вы хотите сказать?

Генерал усмехнулся.

-- Он все молчит... видно, боится скомпрометироваться.

Ирина тоже усмехнулась, только вовсе не так, как ее муж.

-- Лучше молчать, чем говорить... как говорят иные.

-- Attrape! -- промолвил Ратмиров с притворным смирением. Шутки в сторону, у него очень интересное лицо. Такое... сосредоточенное выражение... и вообще осанка... Да. Генерал поправил галстух и посмотрел, закинув голову, на собственные усы. Он, я полагаю, республиканец, вроде другого вашего приятеля, господина Потугина; вот тоже умник из числа безмолвных.

Брови Ирины медленно приподнялись над расширенными, светлыми глазами, а губы сжались и чуть-чуть скривились.

-- К чему вы это говорите, Валерьян Владимирыч? -- как бы с участием заметила она. Только заряды на воздух тратите... Мы не в России, и никто вас не слышит.

Ратмирова передернуло.

-- Это не мое только мнение, Ирина Павловна, заговорил он каким-то внезапно гортанным голосом, -- другие также находят, что этот барин смотрит карбонарием.

-- В самом деле? Кто же эти другие?

-- Да Борис, например...

-- Как? И этому нужно было выразить свое мнение?

Ирина передвинула плечами, как бы пожимаясь от холода, и тихонько провела по ним концами пальцев.

-- Этому... да, этому... этому. Позвольте доложить вам, Ирина Павловна, вы словно сердитесь; а вы сами знаете, кто сердится...

-- Я сержусь? С какой стати?

-- Не знаю; может быть, на вас неприятно подействовало замечание, которое я позволил себе насчет...

Ратмиров замялся.

-- Насчет? -- вопросительно повторила Ирина. Ах, пожалуйста, без иронии и поскорее. Я устала, спать хочу. Она взяла свечку со стола. Насчет?..

-- Да насчет все того же господина Литвинова. Так как теперь уже нет никакого сомнения в том, что он очень вас занимает...

Ирина подняла руку, в которой держала подсвечник, пламя пришлось на уровень с лицом ее мужа, -- и, внимательно, почти с любопытством посмотрев ему в глаза, внезапно захохотала.

-- Что с вами? -- спросил, нахмурившись, Ратмиров.

Ирина продолжала хохотать.

-- Да что такое? -- повторил он и топнул ногой.

Он чувствовал себя обиженным, уязвленным, и в то же время красота этой женщины, так легко и смело стоявшей перед ним, его невольно поражала... она терзала его. Он видел все, все ее прелести, даже розовый блеск изящных ногтей на тонких пальцах, крепко охвативших темную бронзу тяжелого подсвечника, -- даже этот блеск не ускользнул от него... и обида еще глубже въедалась в его сердце. А Ирина все хохотала.

-- Как? вы? вы ревнуете? -- промолвила она наконец и, обернувшись спиной к мужу, вышла вон из комнаты. "Он ревнует!" -- послышалось за дверями, и снова раздался ее хохот.

Ратмиров сумрачно посмотрел вслед своей жене, -- он и тут не мог не заметить обаятельной стройности ее стана, ее движений, -- и, сильным ударом разбив папироску о мраморную плиту камина, швырнул ее далеко прочь. Щеки его внезапно побледнели, судорога пробежала по подбородку, и глаза тупо и зверски забродили по полу, словно отыскивая что-то... Всякое подобие изящества исчезло с его лица. Подобное выражение должно было принять оно, когда он засекал белорусских мужиков.

А Литвинов пришел к себе в комнату и, присев на стул перед столом, взял голову в обе руки и долго оставался неподвижным. Он поднялся наконец, раскрыл ящик и, достав портфель, вынул из внутреннего кармана карточку Татьяны. Печально глянуло на него ее лицо, искаженное и, как водится, состаренное фотографией. Невеста Литвинова была девушка великороссийской крови, русая, несколько полная и с чертами лица немного тяжелыми, но с удивительным выражением доброты и кротости в умных, светло-карих глазах, с нежным белым лбом, на котором, казалось, постоянно лежал луч солнца. Литвинов долго не сводил глаз с карточки, потом тихонько ее отодвинул и снова схватился обеими руками за голову. "Все кончено! -- прошептал он, наконец. Ирина! Ирина!"

Он только теперь, только в это мгновение понял, что безвозвратно и безумно влюбился в нее, влюбился с самого дня первой встречи с нею в Старом замке, что никогда не переставал ее любить. А между тем как бы он удивился, как бы он не поверил, рассмеялся бы, пожалуй, если б это ему сказали несколько часов тому назад!

-- Но Таня, Таня, боже мой, Таня! Таня!-- повторил он с сокрушением; а образ Ирины так и воздвигался перед ним в своей черной, как бы траурной одежде, с лучезарною тишиной победы на беломраморном лице.

XVI

Литвинов не спал всю ночь и не раздевался. Очень ему было тяжело. Как человек честный и справедливый, он понимал важность обязанностей, святость долга и почел бы за стыд хитрить с самим собой, с своею слабостью, с своим проступком. Сперва нашло на него оцепенение: долго не мог он выбиться из-под темного гнета одного и того же полусознанного, неясного ощущения; потом им овладел ужас при мысли, что будущность, его почти завоеванная будущность, опять заволоклась мраком, что его дом, его прочный, только что возведенный дом внезапно пошатнулся... Он начал безжалостно упрекать себя, но тотчас же сам остановил свои порывы. "Что за малодушие? -- подумал он. Не до упреков теперь; надо теперь действовать; Таня моя невеста, она поверила моей любви, моей чести, мы соединены навек и не можем, не должны разъединиться". Он живо представил себе все качества Татьяны, он мысленно перебирал и пересчитывал их; он старался возбудить в себе и умиление и нежность.

"Остается одно, -- думал он опять, -- бежать, бежать немедленно, не дожидаясь ее прибытия, бежать ей навстречу; буду ли я страдать, буду ли мучитъся с Таней, -- это невероятно, -- но, во всяком случае, рассуждать об этом, принимать это в соображение -- нечего; надо долг исполнить, хоть умри потом! -- Но ты не имеешь права ее обманывать, -- шептал ему другой голос, -- ты не имеешь права скрывать от нее перемену, происшедшую в твоих чувствах; быть может, узнав, что ты полюбил другую, она не захочет стать твоей женой? -- Вздор! вздор! -- возражал он, -- это все софизмы, постыдное лукавство, ложная добросовестность; я не имею права не сдержать данного слова, вот это так. Ну, прекрасно... Тогда надо уехать отсюда, не видавшись с тою... "

Но тут у Литвинова защемило на сердце, холодно ему стало, физически холодно: мгновенная дрожь пробежала по телу, слабо стукнули зубы. Он потянулся и зевнул, как в лихорадке. Не настаивая более на своей последней мысли, заглушая эту мысль, отворачиваясь от нее, он принялся недоумевать и удивляться, каким образом он мог опять... опять полюбить это испорченное, светское существо, со всею его противною, враждебною обстановкой. Он попытался было спросить самого себя: да полно, точно полюбил ли ты? -- и только махнул рукой. Он еще удивлялся и недоумевал, а вот уже перед ним, словно из мягкой, душистой мглы, выступал пленительный облик, поднимались лучистые ресницы -- и тихо и неотразимо вонзались ему в сердце волшебные глаза, и голос звенел сладостно, и блестящие плечи, плечи молодой царицы, дышали свежестью и жаром неги...

К утру в душе Литвинова созрело, наконец, решение. Он положил уехать в тот же день навстречу Татьяне и, в последний раз увидавшись с Ириной, сказать ей, если нельзя иначе, всю правду -- и расстаться с ней навсегда. Он привел в порядок и уложил свои вещи, дождался двенадцатого часа и отправился к ней. Но при виде ее полузавешенных окон сердце в Литвинове так и упало... духа не достало переступить порог гостиницы. Он прошелся несколько раз по Лихтенталевской аллее. "Господину Литвинову наше почтение!" -- раздался вдруг насмешливый голос с высоты быстро катившегося "дог-карта". Литвинов поднял глаза и увидал генерала Ратмирова, сидевшего рядом с князем М., известным спортсменом и охотником до английских экипажей и лошадей. Князь правил, а генерал перегнулся набок и скалил зубы, высоко приподняв шляпу над головой. Литвинов поклонился ему и в ту же минуту, как бы повинуясь тайному повелению, бегом пустился к Ирине.

Она была дома. Он велел доложить о себе; его тотчас приняли. Когда он вошел, она стояла посреди комнаты. На ней была утренняя блуза, с широкими открытыми рукавами; лицо ее, бледное по-вчерашнему, но не по-вчерашнему свежее, выражало усталость; томная улыбка, которою она приветствовала своего гостя, еще яснее обозначила это выражение. Она протянула ему руку и посмотрела на него ласково, но рассеянно.

-- Спасибо, что пришли, -- заговорила она слабым голосом и опустилась на кресло. Я не совсем здорова сегодня; я дурно ночь провела. Ну, что вы скажете о вчерашнем вечере? Не права я была?

Литвинов сел.

-- Я пришел к вам, Ирина Павловна, -- начал он...

Она мгновенно выпрямилась и обернулась, глаза ее так и вперились в Литвинова.

-- Что с вами? -- воскликнула она. Вы бледны как мертвец, вы больны. Что с вами?

Литвинов смутился.

-- Со мною, Ирина Павловна?

-- Вы получили дурное известие? Несчастье случилось, скажите, скажите...

Литвинов в свою очередь посмотрел на Ирину.

-- Никакого дурного известия я не получал, промолвил он не без усилия, -- а несчастье действительно случилось, большое несчастье... и оно-то привело меня к вам.

-- Несчастье? Какое?

-- А такое... что.

Литвинов хотел продолжать... и не мог. Только руки он стиснул так, что пальцы хрустнули. Ирина наклонилась вперед и словно окаменела.

-- Ах! я люблю вас! -- вырвалось наконец глухим стоном из груди Литвинова, и он отвернулся, как бы желая спрятать свое лицо.

-- Как, Григорий Михайлыч, вы... -- Ирина тоже не могла докончить речь и, прислонившись к спинке кресла, поднесла к глазам обе руки. Вы... меня любите?

-- Да... да... да, -- повторил он с ожесточением, все более и более отворачивая свое лицо.

Все смолкло в комнате; залетевшая бабочка трепетала крыльями и билась между занавесом и окном.

Первый заговорил Литвинов.

-- Вот, Ирина Павловна, -- начал он, -- вот то несчастье, которое меня... поразило, которое я должен бы был предвидеть и избежать, если б, как и тогда, как в то московское время, я не попал тотчас в водоворот. Видно, судьбе угодно было опять заставить меня, и опять через вас, испытать все те муки, которые, казалось, не должны были уже повториться более... Недаром я противился... старался противиться; да, знать, чему быть, того не миновать. А говорю я вам все это для того,

чтобы кончить поскорее эту... эту трагикомедию, -- прибавил он с новым порывом ожесточения и стыда.

Литвинов опять умолк; бабочка по-прежнему билась и трепетала. Ирина не отнимала рук от лица.

-- И вы не обманываетесь? -- послышался ее шепот из-под этих белых, словно бескровных рук.

-- Я не обманываюсь, -- отвечал Литвинов беззвучным голосом. Я вас люблю так, как никогда и никого не любил, кроме вас. Я не стану упрекать вас: это было бы слишком нелепо; не стану повторять вам, что, быть может, ничего бы этого не случилось, если бы вы сами иначе поступили со мною... Конечно, я один виноват, моя самонадеянность меня погубила; я поделом наказан, и вы этого никак ожидать не могли. Конечно, вы не сообразили, что было бы гораздо безопаснее для меня, если бы вы не так живо чувствовали свою вину... свою мнимую вину передо мною и не желали б ее загладить... Но ведь сделанного не переделаешь. Я только хотел уяснить вам мое положение: оно уж и так довольно тяжело... По крайней мере, не будет, как вы говорите, недоразумений, а откровенность моего признания, я надеюсь, уменьшит то чувство оскорбления, которое вы не можете не ощутить.

Литвинов говорил, не поднимая глаз; да если б он и взглянул на Ирину, он бы все-таки не мог увидеть, что происходило у ней на лице, так как она по-прежнему не отнимала рук. А между тем то, что происходило на этом лице, вероятно бы его изумило: и страх, и радость выражало оно, и какое-то блаженное изнеможение, и тревогу; глаза едва мерцали из-под нависших век, и протяжное, прерывистое дыхание холодило раскрытые, словно жаждавшие губы...

Литвинов помолчал, подождал отзыва, звука... Ничего!

-- Мне остается одно, -- начал он снова, -- удалиться; я пришел проститься с вами.

Ирина медленно опустила руки на колени.

-- Но мне помнится, Григорий Михайлыч, -- начала она, -- та... та особа, о которой вы мне говорили, она должна сюда приехать? Вы ее ожидаете?

-- Да; но я ей напишу... она остановится где-нибудь на дороге... в Гейдельберге, например.

-- А! в Гейдельберге... Да... Там хорошо... Но все это должно расстроить ваши планы. Уверены ли вы, Григорий Михайлыч, что вы не преувеличиваете, et que ce n'est pas une fausse alarme? Ирина говорила тихо, почти холодно, с небольшими расстановками и глядя в сторону, в окно. Литвинов не ответил на ее последний вопрос. -- Только зачем вы упомянули об оскорблении? -- продолжала она. Я не оскорблена... о нет! И если кто-нибудь из нас виноват, так, во всяком случае, не вы; не вы одни... Вспомните наши последние разговоры, и вы убедитесь, что виноваты не вы.

-- Я никогда не сомневался в вашем великодушии, -- произнес сквозь зубы Литвинов, -- но я желал бы знать: одобряете ли вы мое намерение?

-- Уехать?

-- Да.

Ирина продолжала глядеть в сторону.

-- В первую минуту ваше намерение мне показалось преждевременным... Но теперь я обдумала то, что вы сказали... и если вы точно не ошибаетесь, то я полагаю, что вам следует удалиться. Этак будет лучше... лучше для нас обоих.

Голос Ирины становился все тише и тише, и самая речь замедлялась все более и более.

-- Генерал Ратмиров действительно мог бы заметить, -- начал было Литвинов...

Глаза Ирины опустились снова, и что-то странное мелькнуло около ее губ -- мелькнуло и замерло.

-- Нет. Вы меня не поняли, -- перебила она его. Я не думала о моем муже. С какой стати? Ему и замечать было бы нечего. Но я повторяю: разлука необходима для нас обоих.

Литвинов поднял шляпу, упавшую на пол.

"Все кончено, -- подумал он, -- надо уйти". -- Итак, мне остается проститься с вами, Ирина Павловна, -- промолвил он громко, и жутко ему стало вдруг, точно он сам собирался произнести приговор над собою. Мне остается только надеяться, что вы не станете поминать меня лихом... и что если мы когда-нибудь...

Ирина опять его перебила:

-- Погодите, Григорий Михайлыч, не прощайтесь еще со мною. Это было бы слишком поспешно.

Что-то дрогнуло в Литвинове, но жгучая горечь нахлынула тотчас и с удвоенною силой в его сердце.

-- Да не могу я остаться!-- воскликнул он. К чему? К чему продолжать это томление?

-- Не прощайтесь еще со мною, -- повторила Ирина. Я должна увидать вас еще раз... Опять такое немое расставанье, как в Москве, -- нет, я этого не хочу. Вы можете теперь уйти, но вы должны обещать мне, дать мне честное слово, что вы не уедете, не увидевшись еще раз со мною.

-- Вы этого желаете?

-- Я этого требую. Если вы уедете, не простившись со мною, я вам никогда, никогда этого не прощу, слышите ли: никогда! Странно! -- прибавила она, словно про себя, -- я никак не могу себе представить, что я в Бадене... Мне так и чудится, что я в Москве... Ступайте.

Литвинов встал.

-- Ирина Павловна, -- проговорил он, -- дайте мне вашу руку.

Ирина покачала головой.

-- Я вам сказала, что не хочу прощаться с вами...

-- Я не на прощание прошу...

Ирина протянула было руку, но взглянула на Литвинова, в первый раз после его признания, -- и отвела ее назад.

-- Нет, нет, -- шепнула она, -- я не дам вам моей руки. Нет... нет. Ступайте.

Литвинов поклонился и вышел. Он не мог знать, отчего Ирина ему отказала в последнем дружеском пожатии... Он не мог знать, чего она боялась.

Он вышел, а Ирина снова опустилась на кресло и снова закрыла себе лицо.

XVII

Литвинов не вернулся домой: он ушел в горы и, забравшись в лесную чащу, бросился на землю лицом вниз и пролежал там около часа. Он не мучился, не плакал; он как-то тяжело и томительно замирал. Никогда он еще не испытал ничего подобного: то было невыносимо ноющее и грызущее ощущение пустоты, пустоты в самом себе, вокруг, повсюду... Ни об Ирине, ни о Татьяне не думал он. Он чувствовал одно: пал удар, и жизнь перерублена, как канат, и весь он увлечен вперед и подхвачен чем-то неведомым и холодным. Иногда ему казалось, что вихорь налетал на него и он ощущал быстрое вращение и беспорядочные удары его темных крыл... Но решимость его не поколебалась. Остаться в Бадене... об этом и речи быть не могло. Мысленно он уже уехал: он уже сидел в гремящем и дымящем вагоне и бежал, бежал в немую, мертвую даль. Он приподнялся, наконец, и, прислонив голову к дереву, остался неподвижным; только одною рукой он, сам того не замечая, схватил и в такт раскачивал верхний лист высокого папоротника. Шум приближавшихся шагов вывел его из оцепенения: два угольщика с большими мешками на плечах пробирались по крутой тропинке.

"Пора!" -- шепнул Литвинов и вслед за угольщиками спустился в город, повернул к зданию железной дороги и отправил телеграмму на имя Татьяниной тетки, Капитолины Марковны. В этой телеграмме он извещал ее о своем немедленном отъезде и назначил ей свидание в Шрадеровой гостинице в Гейдельберге. "Кончать, так кончать разом, -- подумал он, -- нечего откладывать до завтра". Потом он зашел в игорную залу, с тупым любопытством посмотрел двум-трем игрокам в лицо, заметил издали гнусный затылок Биндасова, безукоризненное чело Пищалкина и, постояв немного под колоннадой, отправился не спеша к Ирине. Не в силу внезапного, невольного увлечения отправился он к ней; решившись уехать, он также решился сдержать данное слово и еще раз с нею повидаться. Он вступил в гостиницу, не замеченный швейцаром, поднялся по лестнице, никого не встречая, -- и, не постучав в дверь, машинально толкнул ее и вошел в комнату. В комнате, на том же кресле, в том же платье, в том же точно положении, как три часа тому назад, сидела Ирина... Видно было, что она не тронулась с места, не шевельнулась все это время. Она медленно приподняла голову и, увидав Литвинова, вся вздрогнула и ухватилась за ручку кресла.

"Вы меня испугали", -- прошептала она.

Литвинов глядел на нее с безмолвным изумлением. Выражение ее лица, угасших глаз -- поразило его. Ирина улыбнулась насильственно и поправила развившиеся волосы.

-- Это ничего... я, право, не знаю... я, кажется, заснула тут.

-- Извините меня, Ирина Павловна, -- начал Литвинов, -- я вошел без доклада... Я хотел исполнить то, что вам было угодно от меня потребовать. Так как я сегодня уезжаю...

-- Сегодня? Но вы, кажется, сказали мне, что вы хотели сперва написать письмо...

-- Я послал телеграмму.

-- А! вы нашли нужным поспешить. И когда вы уезжаете? В котором часу то есть?

-- В семь часов вечера.

-- А! в семь часов! И вы пришли проститься?

-- Да, Ирина Павловна, проститься.

Ирина помолчала.

-- Я должна благодарить вас, Григорий Михайлыч; вам, вероятно, нелегко было сюда прийти.

-- Да, Ирина Павловна, очень нелегко.

-- Жить вообще нелегко, Григорий Михайлыч; как вы полагаете?

-- Как кому, Ирина Павловна.

Ирина опять помолчала, словно задумалась.

-- Вы мне доказали вашу дружбу тем, что пришли, -- промолвила она наконец. Благодарю вас. И вообще я одобряю ваше намерение как можно поскорее все покончить... потому что всякое замедление... потому что... потому что я, та самая я, которую вы упрекали в кокетстве, называли комедианткой -- так, кажется, вы меня называли?..

Ирина быстро встала и, пересев на другое кресло, приникла и прижалась лицом и руками к краю стола...

-- Потому что я люблю вас... -- прошептала она сквозь стиснутые пальцы.

Литвинов пошатнулся, словно кто его в грудь ударил.

Ирина тоскливо повернула голову прочь от него, как бы желая в свою очередь спрятать от него свое лицо, и положила ее на стол.

-- Да, я вас люблю... я люблю вас... и вы это знаете.

-- Я? я это знаю? -- проговорил наконец Литвинов. Я?

-- Ну, а теперь вы видите, -- продолжала Ирина, -- что вам, точно, надо уехать, что медлить нельзя... и вам и мне нельзя медлить. Это опасно, это страшно... Прощайте! -- прибавила она, порывисто вставая с кресла, -- прощайте.

Она сделала несколько шагов в направлении двери кабинета и, занеся руку за спину, торопливо повела ею по воздуху, как бы желая встретить и пожать руку Литвинова; но он стоял как вкопанный далеко... Она еще раз проговорила: "Прощайте, забудьте" -- и, не оглядываясь, бросилась вон.

Литвинов остался один и все еще не мог прийти в себя. Он опомнился наконец, проворно подошел к двери кабинета, произнес имя Ирины раз, два, три раза... Он уже ухватился за замок... С крыльца гостиницы послышался голос Ратмирова.

Литвинов надвинул шляпу на глаза и вышел на лестницу. Изящный генерал стоял перед ложей швейцара и дурным немецким языком объяснял ему, что желает нанять карету на целый завтрашний день. Увидав Литвинова, он опять неестественно высоко приподнял шляпу и опять выразил ему свое "почитание": он, очевидно, трунил над ним, но Литвинову было не до того. Он едва ответил на поклон Ратмирова и, добравшись до своей квартиры, остановился перед своим, уже уложенным и закрытым, чемоданом. Голова у него кружилась и сердце дрожало, как струна. Что было теперь делать? И мог ли он это предвидеть?

Да, он это предвидел, как оно ни казалось невероятным. Это оглушило его как громом, но он это предвидел, хоть и сознаться в том не смел. А впрочем, он ничего не знал наверное. Все в нем перемешалось и спуталось; он потерял нить собственных мыслей. Вспомнил он Москву, вспомнил, как "оно" и тогда налетело внезапною бурею. Он задыхался: восторг, но восторг безотрадный и безнадежный, давил и рвал его грудь. Ни за что в свете он бы не согласился на то, чтобы слова, произнесенные Ириной, не были в действительности ею произнесены... Но что же? переменить принятое решение эти слова все-таки не могли. Оно по-прежнему не колебалось и стояло твердо, как брошенный якорь. Литвинов потерял нить своих мыслей... да; но воля его осталась при нем пока, и он распоряжался собою, как чужим подчиненным человеком. Он позвонил кельнера, велел подать себе счет, удержал место в вечернем омнибусе: он с намерением отрезывал себе все пути. "Там потом хоть умри, -- твердил он, как в прошедшую, бессонную ночь; эта фраза ему особенно пришлась по вкусу. Там потом хоть умри", -- повторял он, медленно расхаживая взад и вперед по комнате, и лишь изредка невольно закрывал глаза и переставал дышать, когда эти слова, эти слова Ирины вторгались ему в душу и жгли ее огнем. "Видно, два раза не полюбишь, -- думал он, вошла в тебя другая жизнь, впустил ты ее -- не отделаешься ты от этого яда до конца, не разорвешь этих нитей! Так; но что ж это доказывает? Счастье... Разве оно возможно? Ты ее любишь, положим... и она... она тебя любит... "

Но тут ему опять пришлось взять себя в руки. Как путник в темную ночь, видя впереди огонек и боясь сбиться с дороги, ни на мгновение не спускает с него глаз, так и Литвинов постоянно устремлял всю силу своего внимания на одну точку, на одну цель. Явиться к своей невесте, и даже не собственно к невесте (он старался не думать о ней), а в комнату гейдельбергской гостиницы -- вот что стояло перед ним незыблемо, путеводным огоньком. Что дальше будет, он не ведал, да и ведать не хотел... Одно было несомненно: назад он не вернется. "Там хоть умри", -- повторил он в десятый раз и взглянул на часы.

Четверть седьмого! Как долго еще приходилось ждать! Он снова зашагал взад и вперед. Солнце склонялось к закату, небо зарделось над деревьями, и алый полусвет ложился сквозь узкие окна в его потемневшую комнату. Вдруг Литвинову почудилось, как будто дверь растворилась за ним тихо и быстро, и так же быстро затворилась снова... Он обернулся; у двери, закутанная в черную мантилью, стояла женщина... Ирина! -- воскликнул он и всплеснул руками... Она подняла голову и упала к нему на грудь. Два часа спустя он сидел у себя на диване. Чемодан стоял в углу, -- раскрытый и пустой, а на столе, посреди беспорядочно разбросанных вещей, лежало письмо от Татьяны, только что полученное Литвиновым. Она писала ему, что решилась ускорить свой отъезд из Дрездена, так как здоровье ее тетки совершенно поправилось, и что если никаких не встретится препятствий, они обе на следующий день к двенадцати часам прибудут в Баден и надеются, что он придет к ним на встречу на железную дорогу. Квартира для них была нанята Литвиновым в той самой гостинице, где он стоял. В тот же вечер он послал записку к Ирине, а на следующее утро он получил от нее ответ. "Днем позже, днем раньше, -- писала она, -- это было неизбежно. А я повторяю тебе, что вчера сказала: жизнь моя в твоих руках, делай со мной что хочешь. Я не хочу

стеснять твою свободу, но знай, что, если нужно, я все брошу и пойду за тобой на край земли. Мы ведь увидимся завтра? Твоя Ирина". Последние два слова были написаны крупным и размашистым, решительным почерком.

XVIII

В числе лиц, собравшихся 18 августа к двенадцати часам на площадку железной дороги, находился и Литвинов. Незадолго перед тем он встретил Ирину: она сидела в открытой карете с своим мужем и другим, уже пожилым, господином. Она увидала Литвинова, и он это заметил; что-то темное пробежало по ее глазам, но она тотчас же закрылась от него зонтиком.

Странная перемена произошла в нем со вчерашнего дня -- во всей его наружности, в движениях, в выражении лица; да и он сам чувствовал себя другим человеком. Самоуверенность исчезла, и спокойствие исчезло тоже, и уважение к себе; от прежнего душевного строя не осталось ничего. Недавние, неизгладимые впечатления заслонили собою все остальное. Появилось какое-то небывалое ощущение, сильное, сладкое -- и недоброе; таинственный гость забрался в святилище и овладел им, и улегся в нем, молчком, но во всю ширину, как хозяин на новоселье. Литвинов не стыдился более, он трусил -- и в то же время отчаянная отвага в нем загоралась; взятым, побежденным знакома эта смесь противоположных чувств; небезызвестна она и вору после первой кражи. А Литвинов был побежден, побежден внезапно... и что сталось с его честностью?

Поезд опоздал несколькими минутами. Томление Литвинова перешло в мучительную тоску: он не мог устоять на месте и, весь бледный, терся и толпился между народом. "Боже мой, -- думал он, -- хоть бы еще сутки... " Первый взгляд на Таню, первый взгляд Тани... вот что его страшило, вот что надо было поскорей пережить... А после? А после -- будь что будет!.. Он уже не принимал более никакого решения, он уже не отвечал за себя. Вчерашняя фраза болезненно мелькнула у него в голове... И вот как он встречает Таню!..

Продолжительный свист раздался наконец, послышался тяжелый, ежеминутно возраставший гул, и, медленно выкатываясь из-за поворота дороги, появился паровик. Толпа подалась ему навстречу, и Литвинов двинулся за нею, волоча ноги, как осужденный. Лица, дамские шляпки стали показываться из вагонов, в одном окошке замелькал белый платок... Капитолина Марковна им махала... Кончено: она увидела Литвинова, и он ее узнал.

Поезд остановился. Литвинов бросился к дверцам, отворил их: Татьяна стояла возле тетки и, светло улыбаясь, протягивала руку.

Он помог им обеим сойти, проговорил несколько приветных слов, недоконченных и неясных, и тотчас же засуетился, начал отбирать билеты, дорожные мешки, пледы, побежал отыскивать носильщика, подозвал карету; другие люди суетились вокруг него, и он радовался их присутствию, их шуму и крику. Татьяна отошла немного в сторону и, не переставая улыбаться, спокойно выжидала конца его торопливых распоряжений. Капитолина Марковна, напротив, не могла устоять на месте; ей все не верилось, что она наконец попала в Баден. Она вдруг закричала: "А зонтики? Таня, где зонтики?" -- не замечая, что она крепко держала их под мышкой; потом начала громко и продолжительно прощаться с другой дамой, с которой познакомилась во время переезда из Гейдельберга в Баден. Дама эта была не кто иная, как известная нам г-жа

Суханчикова. Она отлучалась в Гейдельберг на поклонение Губареву и возвращалась с "инструкциями". На Капитолине Марковне была довольно странная пестрая мантилья и круглая дорожная шляпка в виде гриба, из-под которой в беспорядке выбивались стриженые белые волосы; небольшого роста, худощавая, она раскраснелась от дороги и говорила по-русски пронзительным певучим голосом... Ее тотчас заметили.

Литвинов усадил наконец ее и Татьяну в карету и сам поместился против них. Лошади тронулись. Поднялись расспросы, возобновились пожатия рук, взаимные улыбки, приветы... Литвинов вздохнул свободно: первые мгновенья прошли благополучно. Ничего в нем, по-видимому, не поразило, не смутило Тани: она так же ясно и доверчиво смотрела, так же мило краснела, так же добродушно смеялась. Он наконец сам решился взглянуть, не вскользь и мельком, а прямо и пристально взглянуть на нее: до тех пор его собственные глаза ему не повиновались. Невольное умиление стиснуло его сердце: безмятежное выражение этого честного, открытого лица отдалось в нем горьким укором. "Вот -- ты приехала сюда, бедная девушка, думал он, -- ты, которую я так ждал и звал, с которою я всю жизнь хотел пройти до конца, ты приехала, ты мне поверила... а я... а я... " Литвинов наклонил голову; но Капитолина Марковна не дала ему задуматься; она осыпала его вопросами.

-- Это что за строение с колоннами? Где тут играют? Это кто идет? Таня, Таня, посмотри, какие кринолины! А вот это кто? Здесь, должно быть, все больше француженки из Парижа? Господи, что за шляпка? Здесь все можно найти, как в Париже? Только, я воображаю, все ужасно дорого? Ах, с какою отличною, умною женщиной я познакомилась! Вы ее знаете, Григорий Михайлыч; она мне сказала, что встретилась с вами у одного русского, тоже удивительно умного. Она обещалась навещать нас. Как она всех этих аристократов отделывает -- просто чудо! Это что за господин с седыми усами? Прусский король? Таня, Таня, посмотри, это прусский король. Нет? не прусский король? Голландский посланник? Я не слышу, колеса так стучат. Ах, какие чудесные деревья!

-- Да, тетя, чудесные, -- подтвердила Таня, -- и как все здесь зелено, весело! Не правда ли, Григорий Михайлыч...

-- Весело... -- отвечал он сквозь зубы.

Карета остановилась наконец перед гостиницей. Литвинов проводил обеих путешественниц в удержанный для них нумер, обещал зайти через час и вернулся в свою комнату. Затихшее на миг очарование овладело им немедленно, как только он вступил в нее. Здесь, в этой комнате, со вчерашнего дня царствовала Ирина; все говорило о ней, самый воздух, казалось, сохранил тайные следы ее посещения... Литвинов опять почувствовал себя ее рабом. Он выхватил ее платок, спрятанный у него на груди, прижался к нему губами, и тонким ядом разлились по его жилам знойные воспоминания. Он понял, что тут уже нет возврата, нет выбора; горестное умиление, возбужденное в нем Татьяной, растаяло, как снег на огне, и раскаяние замерло... замерло так, что даже волнение в нем угомонилось и возможность притворства, представившись его уму, не возмущала его... Любовь, любовь Ирины -- вот что стало теперь его правдой, его законом, его совестью... Предусмотрительный, благоразумный Литвинов даже не помышлял о том, как ему выбраться из положения, ужас и безобразие которого он и чувствовал как-то легко и словно со стороны.

Часа еще не протекло, как уже явился к Литвинову кельнер от имени новоприезжих дам: они просили его пожаловать к ним в общую залу. Он отправился вслед за посланцем и нашел их уже одетыми и в шляпках. Обе изъявили желание тотчас пойти осматривать Баден, благо погода была

прекрасная. Особенно Капитолина Марковна так и горела нетерпением; она даже опечалилась немного, когда узнала, что час фешенебельного сборища перед Конверсационсгаузом еще не наступил. Литвинов взял ее под руку -- и началась официальная прогулка. Татьяна шла рядом с теткой и с спокойным любопытством осматривалась кругом; Капитолина Марковна продолжала свои расспросы. Вид рулетки, осанистых крупиэ, которых она -- встреть она их в другом месте -- наверное, приняла бы за министров, вид их проворных лопаточек, золотых и серебряных кучек на зеленом сукне, игравших старух и расписных лореток привел Капитолину Марковну в состояние какого-то немотствующего исступления; она совсем позабыла, что ей следовало вознегодовать, -- и только глядела, глядела во все глаза, изредка вздрагивая при каждом новом возгласе... Жужжание костяного шарика в углублении рулетки проникало ее до мозгу костей -- и только очутившись на свежем воздухе, она нашла в себе довольно силы, чтобы, испустив глубокий вздох, назвать азартную игру безнравственною выдумкой аристократизма. На губах Литвинова появилась неподвижная, нехорошая улыбка; он говорил отрывисто и лениво, словно досадовал или скучал... Но вот он обернулся к Татьяне и втайне смутился: она глядела на него внимательно и с таким выражением, как будто сама себя спрашивала, какого рода впечатление возбуждалось в ней? Он поспешил кивнуть ей головой, она отвечала ему тем же и опять посмотрела на него вопросительно, не без некоторого напряжения, словно он стоял от нее гораздо дальше, чем то было на самом деле. Литвинов повел своих дам прочь от Конверсационсгауза и, минуя "русское дерево", под которым уже восседали две соотечественницы, направился к Лихтенталю. Не успел он вступить в аллею, как увидал издали Ирину.

Она шла к ним навстречу с своим мужем и Потугиным. Литвинов побледнел как полотно, однако не замедлил шагу и, поравнявшись с нею, отвесил безмолвный поклон. И она ему поклонилась любезно, но холодно и, быстро окинув глазами Татьяну, скользнула мимо... Ратмиров высоко приподнял шляпу, Потугин что-то промычал.

-- Кто эта дама? -- спросила вдруг Татьяна. Она до того мгновенья почти не раскрывала губ.

-- Эта дама? -- повторил Литвинов. Эта дама?.. Это некая госпожа Ратмирова.

-- Русская?

-- Да.

-- Вы с ней здесь познакомились?

-- Нет; я ее давно знаю.

-- Какая она красивая!

-- Заметила ты ее туалет? -- вмешалась Капитолина

Марковна. Десять семейств можно бы целый год прокормить на те деньги, которых стоят одни ее кружева! Это с ней шел ее муж? -- обратилась она к Литвинову.

-- Муж.

-- Он, должно быть, ужасно богат?

-- Право, не знаю; не думаю.

-- А чин у него какой?

-- Чин генеральский.

-- Какие у нее глаза! -- проговорила Татьяна. И выражение в них какое странное: и задумчивое, и проницательное... я таких глаз не видывала.

Литвинов ничего не отвечал; ему казалось, что он опять чувствует на лице своем вопрошающий взгляд Татьяны, но он ошибался: она глядела себе под ноги, на песок дорожки.

-- Боже мой! Кто этот урод? -- воскликнула вдруг Капитолина Марковна, указывая пальцем на низенький шарабан, в котором, нагло развалясь, лежала рыжая и курносая женщина в необыкновенно пышном наряде и лиловых чулках.

-- Этот урод! Помилуйте, это известная мамзель Кора.

-- Кто?

-- Мамзель Кора... Парижская... знаменитость.

-- Как? эта моська? Да ведь она пребезобразная?

-- Видно, это не мешает.

Капитолина Марковна только руками развела.

-- Ну ваш Баден! -- промолвила она, наконец. -- А можно тут на скамейке присесть? Я что-то устала.

-- Конечно, можно, Капитолина Марковна... На то и скамейки поставлены.

-- Да ведь господь вас знает! Вон, говорят, в Париже на бульварах тоже стоят скамейки, а сесть на них неприлично.

Литвинов ничего не возразил Капитолине Марковне; он только в это мгновенье сообразил, что в двух шагах оттуда находилось то самое место, где он имел с Ириной объяснение, которое все решило. Потом он вспомнил, что он сегодня заметил у ней на щеке небольшое розовое пятно...

Капитолина Марковна опустилась на скамейку, Татьяна села возле нее. Литвинов остался на дорожке; между им и Татьяной -- или это ему только чудилось? -- совершалось что-то... бессознательно и постепенно.

-- Ах, она шутовка, шутовка, -- произнесла Капитолина Марковна, с сожалением покачивая головой. Вот ее туалет продать, так не десять, а сто семейств прокормить можно. Видели вы, у ней под шляпкой, на рыжих-то на волосах, бриллианты? Это днем-то бриллианты, а?

-- У ней волоса не рыжие, -- заметил Литвинов, -- она их красит в рыжий цвет, теперь это в моде.

Капитолина Марковна опять руками развела и даже задумалась.

-- Ну, -- проговорила она наконец, -- у нас, в Дрездене, до такого скандала еще не дошло. Потому все-таки подальше от Парижа. Вы того же мнения, не правда ли, Григорий Михайлыч?

-- Я? -- отвечал Литвинов, а сам подумал: "О чем бишь это она?" -- Я? Конечно... конечно...

Но тут послышались неторопливые шаги, и к скамейке приблизился Потугин.

-- Здравствуйте, Григорий Михайлыч, -- проговорил он, посмеиваясь и кивая головой.

Литвинов тотчас схватил его за руку -- Здравствуйте, здравствуйте, Созонт Иваныч. Я, кажется, сейчас встретил вас с... вот сейчас, в аллее.

-- Да, это был я.

Потугин почтительно поклонился сидевшим дамам.

-- Позвольте вас представить, Созонт Иваныч. Мои хорошие знакомые, родственницы, только что приехали в Баден. Потугин, Созонт Иваныч, наш соотечественник, тоже баденский гость.

Обе дамы приподнялись немного. Потугин возобновил свои поклоны.

-- Здесь настоящий раут, -- начала тонким голоском Капитолина Марковна; добродушная старая девица легко робела, но пуще всего старалась не ударить в грязь лицом, -- все считают приятным долгом побывать здесь.

-- Баден, точно, приятное место, -- ответил Потугин, искоса посматривая на Татьяну, -- очень приятное место Баден.

-- Да; только уж слишком аристократично, сколько я могу судить. Вот мы с ней жили в Дрездене все это время... очень интересный город; но здесь решительно раут.

"Понравилось словцо", -- подумал Потугин. -- Это вы совершенно справедливо изволили заметить, -- произнес он громко, -- зато природа здесь удивительная и местоположение такое, какое редко можно найти. Ваша спутница в особенности должна это оценить. Не правда ли, сударыня? -- прибавил он, обращаясь на этот раз прямо к Татьяне.

Татьяна подняла на Потугина свои большие, ясные глаза. Казалось, она недоумевала, чего хотят от нее, и зачем Литвинов познакомил ее, в первый же день приезда, с этим неизвестным человеком, у которого, впрочем, умное и доброе лицо и который глядит на нее приветливо и дружелюбно.

-- Да, -- промолвила она наконец, -- здесь очень хорошо.

-- Вам надобно посетить Старый замок, -- продолжал Потугин, -- в особенности советую вам съездить в Ибург.

-- Саксонская Швейцария, -- начала было Капитолина Марковна...

Взрыв трубных звуков прокатился по аллее: это военный прусский оркестр из Раштадта (в 1862 году Раштадт был еще союзною крепостью) начинал свой еженедельный концерт в павильоне. Капитолина Марковна тотчас встала.

-- Музыка! -- промолвила она. Музыка a la Conversation!.. Надо туда идти. Ведь теперь четвертый час, не правда ли? Общество теперь собирается?

-- Да, -- отвечал Потугин, -- теперь самый для общества модный час, и музыка прекрасная.

-- Ну, так мешкать нечего. Таня, пойдем.

-- Вы позволите сопровождать вас? -- спросил Потугин, к немалому удивлению Литвинова: ему и в голову прийти не могло, что Потугина прислала Ирина. Капитолина Марковна осклабилась.

-- С великим удовольствием, мсье... мсье...

-- Потугин, -- подсказал тот и предложил ей руку.

Литвинов подал свою Татьяне, и обе четы направились к Конверсационсгаузу.

Потугин продолжал рассуждать с Капитолиной Марковной. Но Литвинов шел, ни слова не говоря, и только раза два безо всякого повода усмехнулся и слабо прижал к себе руку Татьяны. Ложь была в этих пожатиях, на которые она не отвечала, и Литвинов сознавал эту ложь. Не взаимное удостоверение в тесном союзе двух отдавшихся друг другу душ выражали они, как бывало; они заменяли -- пока -- слова, которых он не находил. То безмолвное, что началось между ими обоими, росло и утверждалось. Татьяна опять внимательно, почти пристально посмотрела на него.

То же самое продолжалось и перед Конверсационсгаузом, за столиком, около которого они уселись все четверо, с тою только разницей, что при суетливом шуме толпы, при громе и треске музыки молчание Литвинова казалось более понятным. Капитолина Марковна пришла, как говорится, в совершенный азарт; Потугин едва успевал поддакивать ей, удовлетворять ее любопытству. На его счастье, в массе проходивших лиц внезапно появилась худощавая фигура Суханчиковой и блеснули ее вечно прыгающие глаза. Капитолина Марковна тотчас ее признала, подозвала ее к своему столику, усадила ее -- и поднялась словесная буря.

Потугин обратился к Татьяне и начал беседовать с нею тихим и мягким голосом, с ласковым выражением на слегка наклоненном лице; и она, к собственному изумлению, отвечала ему легко и свободно; ей было приятно говорить с этим чужим, с незнакомцем, между тем как Литвинов по-прежнему сидел неподвижно, с тою же неподвижной и нехорошей улыбкой на губах.

Наступило наконец время обеда. Музыка умолкла, толпа стала редеть. Капитолина Марковна сочувственно простилась с Суханчиковой. Великое она к ней возымела уважение, хоть и говорила потом своей племяннице, что уж очень озлоблена эта особа; но зато все про всех ведает! А швейные машины действительно надо завести, как только отпразднуется свадьба. Потугин раскланялся; Литвинов повел своих дам домой. При входе в гостипицу ему вручили записку: он отошел в сторону и торопливо сорвал куверт. На небольшом клочке веленевой бумажки стояли следующие, карандашом начертанные слова: "Приходите сегодня вечером в семь часов ко мне на одну минуту, умоляю вас. Ирина". Литвинов сунул бумажку в карман и, обернувшись, усмехнулся опять... кому? зачем? Татьяна спиной к нему стояла. Обед происходил за общим столом. Литвинов сидел между Капитолиной Марковной и Татьяной и, как-то странно оживившись, разговаривал, рассказывал анекдоты, наливал вина себе и дамам. Он так развязно держал себя, что сидевший напротив французский пехотный офицер из Страсбурга, с эспаньолкой и усами a la Napoleon III, нашел возможным вмешаться в разговор и даже кончил тостом a la sante des belles moskovites! После обеда Литвинов проводил обеих дам в их комнату и, постояв немного у окна и насупившись, внезапно объявил, что должен отлучиться на короткое время по делу, но вернется к вечеру непременно. Татьяна ничего не сказала, побледнела и опустила глаза. Капитолина Марковна имела привычку спать после обеда; Татьяне было известно, что Литвинов знал эту привычку за ее теткой: она ожидала, что он этим воспользуется, что он останется, так как он с

самого приезда еще не был наедине с нею, не поговорил с ней откровенно. И вот он уходит! Как это понять? И вообще все его поведение в течение дня...

Литвинов поспешил удалиться, не дожидаясь возражений; Капитолина Марковна легла на диван и, поохавши и вздохнувши раза два, заснула безмятежным сном, а Татьяна отошла в угол и села на кресло, крепко скрестив на груди руки.

XIX

Литвинов проворно всходил по лестнице Hotel de l'Europe... Девочка лет тринадцати, с калмыцким лукавым личиком, которая, по-видимому, его караулила, остановила его, сказавши ему по-русски: "Пожалуйте сюда; Ирина Павловна сейчас придут". Он посмотрел на нее с недоумением. Она улыбнулась, повторила: "Пожалуйте, пожалуйте", -- и ввела его в небольшую комнату, находившуюся напротив Ирининой спальни и наполненную дорожными сундуками и чемоданами, а сама тотчас исчезла, легохонько притворивши дверь. Не успел Литвинов оглянуться, как та же дверь быстро распахнулась и в розовом бальном платье, с жемчугом в волосах и на шее, появилась Ирина. Она так и бросилась к нему, схватила его за обе руки и несколько мгновений оставалась безмолвной; глаза ее сияли и грудь поднималась, словно она взбежала на высоту.

-- Я не могла принять... вас там, -- начала она торопливым шепотом, -- мы сейчас едем на званый обед, но я непременно хотела вас видеть... Ведь это ваша невеста была, с которой я вас встретила сегодня?

-- Да, это была моя невеста, -- проговорил Литвинов, упирая на слове "была".

-- Так вот я хотела увидать вас на одну минуту, чтобы сказать вам, что вы должны считать себя совершенно свободным, что все то, что произошло вчера, не должно нисколько менять ваши решения...

-- Ирина! -- воскликнул Литвинов, -- зачем ты это говоришь?

Он произнес эти слова громким голосом... Беззаветная страсть прозвучала в них. Ирина на миг невольно закрыла глаза.

-- О, мой милый! -- продолжала она шепотом еще более тихим, но с увлечением неудержимым, -- ты не знаешь, как я тебя люблю, но вчера я только долг свой заплатила, я загладила прошедшую вину... Ах! я не могла отдать тебе мою молодость, как бы я хотела, но никаких обязанностей я не наложила на тебя, ни от какого обещания я не разрешила тебя, мой милый! Делай что хочешь, ты свободен как воздух, ты ничем не связан, знай это, знай!

-- Но я не могу жить без тебя, Ирина, -- перебил ее уже шепотом Литвинов, -- я твой навек и навсегда со вчерашнего дня... Только у ног твоих могу я дышать...

Он трепетно припал к ее рукам. Ирина посмотрела на его наклоненную голову.

-- Ну так знай же, -- промолвила она, -- что и я на все готова, что и я не пожалею никого и ничего. Как ты решишь, так и будет. Я тоже навек твоя... твоя.

Кто-то осторожно постучался в дверь. Ирина нагнулась, еще раз шепнула: "Твоя... прощай!" -- Литвинов почувствовал на волосах своих ее дыхание, прикосновение ее губ. Когда он выпрямился, ее уже не было в комнате, только платье ее прошумело в коридоре и издали послышался голос Ратмирова: "Eh bien! Vous ne venez pas?".

Литвинов присел на высокий сундук и закрыл себе лицо. Женский запах, тонкий и свежий, повеял на него... Ирина держала его руки в своих руках. "Это слишком... слишком", -- думалось ему. Девочка вошла в комнату и, снова улыбнувшись в ответ на его тревожный взгляд, промолвила:

-- Извольте идти-с, пока...

Он встал и вышел из гостиницы. Нечего было и думать тотчас возвратиться домой: надо было остепениться. Сердце в нем билось протяжно и неровно; земля, казалось, слабо двигалась под ногами. Литвинов опять отправился по Лихтенталевской аллее. Он понимал, что наступало мгновенье решительное, что откладывать дальше, скрываться, отворачиваться -- становилось невозможным, что объяснение с Татьяной неизбежно; он представлял, как она там сидит и не шевелится и ждет его... он предчувствовал, что он ей скажет; но как приступить, как начать?

Он махнул рукой на все свое правильное, благоустроенное, добропорядочное будущее: он знал, что он бросается очертя голову в омут, куда и заглядывать не следовало... Но не это его смущало. То дело было покончeнное, а как предстать перед своего судью? И хоть бы точно судья его встретил -- ангел с пламенным мечом: легче было бы преступному сердцу... а то еще самому придется нож вонзать... Безобразно! А вернуться назад, отказаться от того, другого, воспользоваться свободой, которую ему сулят, которую признают за ним... Нет! лучше умереть! Нет, не надо той постылой свободы... а низвергнуться в прах, и чтобы те глаза с любовию склонились...

-- Григорий Михайлыч!-- промолвил чей-то печальный голос, и чья-то рука тяжело легла на Литвинова.

Он оглянулся не без испуга и узнал Потугина.

-- Извините меня, Григорий Михайлыч, -- начал тот с обычной своей ужимкой, -- я, может бытъ, вас обеспокоил, но, увидав вас издали, я подумал... Впрочем, если вам не до меня...

-- Напротив, я очень рад, -- процедил сквозь зубы Литвинов.

Потугин пошел с ним рядом.

-- Прекрасный вечер, -- начал он, -- так тепло! Вы давно гуляете?

-- Нет, недавно.

-- Да что же я спрашиваю; я видел, как вы шли из Hotel de l'Europe.

-- Так вы за мной шли следом?

-- Да.

-- Вы имеете мне что сказать?

-- Да, -- чуть слышно повторил Потугин.

Литвинов остановился и посмотрел на своего непрошеного собеседника. Лицо его было бледно, глаза блуждали; давнишнее, старое горе, казалось, выступило на его искаженных чертах.

-- Что же, собственно, такое вы хотите мне сказать? -- медленно проговорил Литвинов и опять двинулся вперед.

-- А вот позвольте... сейчас. Если вам все равно -- присядемте вот тут на скамеечку. Здесь будет удобнее.

-- Да это что-то таинственное, -- промолвил Литвинов, садясь возле него. Вам словно не по себе, Созонт Иваныч.

-- Нет, мне ничего; и таинственного тоже ничего нет. Я, собственно, хотел вам сообщить... то впечатление, которое произвела на меня ваша невеста... ведь она, кажется, ваша невеста?.. ну, словом, та девица, с которой вы меня сегодня познакомили. Я должен сказать, что я в течение всей своей жизни не встречал существа более симпатичного. Это золотое сердце, истинно ангельская душа. Потугин произнес все эти слова с тем же горьким и скорбным видом, так что даже Литвинов не мог не заметить странного противоречия между выражением его лица и его речами.

-- Вы совершенно справедливо оценили Татьяну Петровну, -- начал Литвинов, -- хотя мне приходится удивляться, во-первых, тому, что вам известны мои отношения к ней, а во-вторых, и тому, как скоро вы ее разгадали. У ней, точно, ангельская душа; но позвольте узнать, вы об этом хотели со мной беседовать?

-- Ее нельзя не разгадать тотчас, -- подхватил Потугин, как бы уклоняясь от последнего вопроса, -- стоит ей раз заглянуть в глаза. Она заслуживает всевозможного счастья на земле, и завидна доля того человека, которому придется доставить ей это счастье! Нужно желать, чтоб он оказался достойным подобной доли.

Литвинов нахмурился слегка.

-- Позвольте, Созонт Иваныч, -- промолвил он, -- я, признаюсь, нахожу наш разговор вообще довольно оригинальным... Я хотел бы знать: намек, который содержат ваши слова, относится ко мне?

Потугин не тотчас отвечал Литвинову: он, видимо, боролся сам с собою.

-- Григорий Михайлыч, -- начал он наконец, -- или я совершенно ошибся в вас, или вы в состоянии выслушать правду, от кого бы она ни шла и под какой бы невзрачной оболочкой она ни явилась. Я сейчас сказал вам, что видел, откуда вы шли.

-- Ну да, из Hotel de l'Europe. Что же из того?

-- Ведь я знаю, с кем вы там виделись!

-- Как?

-- Вы виделись с госпожой Ратмировой.

-- Ну да, я был у ней. Что же далее?

-- Что далее?.. Вы, жених Татьяны Петровны, вы виделись с госпожою Ратмировой, которую вы любите... и которая любит вас.

Литвинов мгновенно приподнялся со скамейки; кровь ударила ему в голову.

-- Что это? -- промолвил он наконец озлобленным, сдавленным голосом, плоская шутка, шпионство? Извольте объясниться.

Потугин бросил на него унылый взгляд.

-- Ах! не оскорбляйтесь моими словами, Григорий Михайлыч; меня же вы оскорбить не можете. Не для того заговорил я с вами, и не до шуток мне теперь.

-- Может быть, может быть. Я готов верить в чистоту ваших намерений; но я все-таки позволю себе спросить вас, с какого права вы вмешиваетесь в домашние дела, в сердечную жизнь чужого человека и на каком основании вы вашу... выдумку так самоуверенно выдаете за правду?

-- Мою выдумку! Если б я это выдумал, вы бы не рассердились! А что до права, то я еще не слыхивал, чтобы человек поставил себе вопрос: имеет ли он право или нет протянуть руку утопающему.

-- Покорно благодарю за заботливость, -- подхватил запальчиво Литвинов, только я вовсе не нуждаюсь в ней, и все эти фразы о гибели, уготовляемой светскими дамами неопытным юношам, о безнравственности высшего света и так далее считаю именно за фразы и даже в некотором смысле презираю их; а потому прошу вас не утруждать своей спасительной десницы и преспокойно позволить мне утонуть.

Потугин опять поднял глаза на Литвинова. Он трудно дышал, губы его подергивало.

-- Да посмотрите вы на меня, молодой человек, вырвалось у него наконец, и он стукнул себя в грудь, неужели я похож на дюжинного, самодовольного моралиста, на проповедника? Разве вы не понимаете, что из одного участия к вам, как бы сильно оно ни было, я бы слова не проронил, не дал бы вам права упрекнуть меня в том, что пуще всего мне ненавистно, -- в нескромности, в назойливости? Разве вы не видите, что тут дело совсем другого рода, что перед вами человек разбитый, разрушенный, окончательно уничтоженный тем самым чувством, от последствий которого он желал бы предохранить вас, и... и к той же самой женщине!

Литвинов отступил шаг назад.

-- Возможно ли! что вы сказали?.. Вы... вы... Созонт Иваныч? Но госпожа Бельская... этот ребенок...

-- Ах, не расспрашивайте меня... верьте мне! То темная, страшная история, которую я вам рассказывать не стану. Госпожу Бельскую я почти не знал, ребенок этот не мой, а взял я все на себя... потому... потому что она того хотела, потому что ей это было нужно. Зачем бы я находился здесь, в вашем противном Бадене? И, наконец, неужели вы полагаете, неужели вы на одну минуту могли вообразить, что я из сочувствия к вам решился предостеречь вас? Мне жаль той доброй, хорошей девушки, вашей невесты, а впрочем, какое мне дело до вашей будущности, до вас обоих?.. Но я за нее боюсь... за нее.

-- Много чести, господин Потугин, -- начал Литвинов, -- но так как мы, по вашим словам, находимся оба в одинаковом положении, то почему же вы самому себе не читаете подобных наставлений, и не должен ли я приписать ваши опасения другому чувству?

-- То есть ревности, хотите вы сказать? Эх, молодой человек, молодой человек, стыдно вам финтить и лукавить, стыдно не понять, какое горькое горе говорит теперь моими устами. Нет, не в одинаковом мы положении с вами! Я, я, старый, смешной, вполне безвредный чудак... а вы! Да что тут толковать! Вы ни на одну секунду не согласились бы принять на себя ту роль, которую я разыгрываю, и разыгрываю с благодарностью! А ревность? Не ревнует тот, у кого нет хоть бы капли надежды, и не теперь бы мне пришлось испытать это чувство впервые. Мне только страшно... страшно за нее, поймите вы это. И мог ли я ожидать, когда она посылала меня к вам, что чувство вины, которую она признавала за собою, так далеко ее завлечет?

-- Но позвольте, Созонт Иваныч, вы как будто знаете...

-- Я ничего не знаю и знаю все. Я знаю, -- прибавил он и отвернулся, -- я знаю, где она была вчера. Но ее не удержать теперь: она, как брошенный камень, должна докатиться до дна. Я был бы еще большим безумцем, если бы вообразил, что слова мои тотчас удержат вас... вас, которому такая женщина... Но полно об этом. Я не мог переломить себя, вот все мое извинение. Да и, наконец, как знать и почему не попытаться? Может быть, вы одумаетесь; может быть, какое-нибудь мое слово западет вам в душу, вы не захотите погубить и ее, и себя, и то невинное, прекрасное существо... Ах! не сердитесь, не топайте ногой! Чего мне бояться, чего церемониться? Не ревность говорит во мне теперь, не досада... Я готов упасть к вашим ногам, умолять вас... А впрочем, прощайте. Не бойтесь, все это останется в тайне. -Я желал вам добра. Потугин зашагал по аллее и скоро исчез в уже надвигавшемся мраке... Литвинов его не удерживал. "Страшная, темная история... эх -- говорил Потугин Литвинову и не хотел ее рассказывать... Коснемся и мы ее всего двумя словами. Лет за восемь перед тем ему пришлось быть временно прикомандированным от своего министерства к графу Рейзенбаху. Дело происходило летом. Потугин ездил к нему на дачу, с бумагами и проводил там целые дни. Ирина жила тогда у графа. Она никогда не гнушалась людей, низко поставленных, по крайней мере не чуждалась их, и графиня не раз пеняла ей за ее излишнюю, московскую фамильярность. Ирина скоро отгадала умного человека в этом скромном чиновнике, облеченном в мундирный, доверху застегнутый фрак. Она часто и охотно беседовала с ним... а он... он полюбил ее страстно, глубоко, тайно... Тайно! Он так думал. Прошло лето; граф перестал нуждаться в постороннем помощнике. Потугин потерял Ирину из виду, но забыть ее не мог. Года три спустя он совершенно неожиданно получил приглашение от одной мало знакомой ему дамы средней руки. Дама эта сперва немного затруднилась высказаться, но, взяв с него клятву сохранить все, что он услышит, в величайшем секрете, предложила ему... жениться на одной девице, которая занимала видное положение в свете и для которой свадьба стала необходимостью. На главное лицо дама едва решилась намекнуть и тут же обещала Потугину денег... много денег. Потугин не оскорбился, удивление заглушило в нем чувство гнева, но, разумеется, отказался наотрез. Тогда дама вручила ему записку к нему -- от Ирины. "Вы благородный, добрый человек, -- писала она, -- и я знаю, вы для меня все сделаете; я прошу у вас этой жертвы. Вы спасете существо, мне дорогое. Спасая ее, вы спасете и меня... Не спрашивайте -- как. Я ни к кому не решилась бы обратиться с подобною просьбой, но к вам я протягиваю руки и говорю вам: сделайте это для меня". Потугин задумался и сказал, что для Ирины Павловны он, точно, готов сделатъ многое, но хотел бы услышать ее желание из ее же уст. Свидание состоялось в тот же вечер; оно продолжалось недолго, и никто не знал о нем, кроме той дамы. Ирина не жила уже у графа Рейзенбаха.

-- Почему вы вспомнили именно обо мне? -- спросил ее Потугин.

Она начала было распространяться об его хороших качествах, да вдруг остановилась...

-- Нет, -- промолвила она, -- вам надобно правду говорить. Я знала, я знаю, что вы меня любите, вот отчего я решилась... -- И тут же рассказала ему все.

Эльза Бельская была сирота; родственники ее не любили и рассчитывали на ее наследство... Ей предстояла гибель. Спасая ее, Ирина действительно оказывала услугу тому, кто был всему причиной и кто сам теперь стал весьма близок к ней, к Ирине... Потугин молча, долго посмотрел на Ирину -- и согласился. Она заплакала и вся в слезах бросилась ему на шею. И он заплакал... но различны были их слезы. Уже все приготовлялось к тайному браку, мощная рука устранила все препятствия... Но случилась болезнь... а там родилась дочь, а там мать... отравилась. Что было делать с ребенком? Потугин взял его на свое попечение из тех же рук, из рук Ирины.

Страшная, темная история... Мимо, читатель, мимо!

Больше часу прошло еще, прежде чем Литвинов решился вернуться в свою гостиницу. Он уже приближался к ней, как вдруг услышал шаги за собой. Казалось, кто-то упорно следил за ним и шел скорее, когда он прибавлял шагу. Подойдя под фонарь, Литвинов оглянулся и узнал генерала Ратмирова. В белом галстухе, в щегольском пальто нараспашку, с вереницей звездочек и крестиков на золотой цепочке в петле фрака, генерал возвращался с обеда, один. Взгляд его, прямо и дерзко устремленный на Литвинова, выражал такое презрение и такую ненависть, вся его фигура дышала таким настойчивым вызовом, что Литвинов почел своею обязанностью пойти, скрепя сердце, ему навстречу, пойти на "историю". Но, поравнявшись с Литвиновым, лицо генерала мгновенно изменилось: опять появилось на нем обычное игривое изящество, и рука в светло-лиловой перчатке высоко приподняла вылощенную шляпу. Литвинов молча снял свою, и каждый пошел своею дорогой.

"Верно, заметил что-нибудь!" -- подумал Литвинов. "Хоть бы... другой кто-нибудь!" -- подумал генерал. Татьяна играла в пикет с своею теткой, когда Литвинов вошел к ним в комнату.

-- Однако хорош ты, мой батюшка! -- воскликнула Капитолина Марковна и бросила карты на стол. В первый же день, да на целый вечер пропал! Уж мы ждали вас, ждали, бранили, бранили...

-- Я, тетя, ничего не говорила, -- заметила Татьяна.

-- Ну, ты известная смиренница! Стыдитесь, милостивый государь! Еще жених!

Литвинов кое-как извинился и подсел к столу.

-- Зачем же вы перестали играть? -- спросил он после небольшого молчания.

-- Вот тебе на! Мы с ней в карты от скуки играем, когда делать нечего... а теперь вы пришли.

-- Если вам угодно послушать вечернюю музыку.. -- промолвил Литвинов, -- я с великою охотой провожу вас.

Капитолина Марковна посмотрела на свою племянницу.

-- Пойдемте, тетя, я готова, -- сказала та, -- но не лучше ли остаться дома?

-- И то дело! Будемте чай пить, по-нашему, по-московскому, с самоваром; да поболтаемте хорошенько. Мы еще не покалякали как следует.

Литвинов велел принести чаю, но поболтать хорошенько не удалось. Он чувствовал постоянное угрызение совести; что бы он ни говорил, ему все казалось, что он лжет и что Татьяна догадывается. А между тем в ней не замечалось перемены; она так же непринужденно держалась... только взор ее ни разу не останавливался на Литвинове, а как-то снисходительно и пугливо скользил по нем -- и бледнее она была обыкновенного.

Капитолина Марковна спросила ее, не болит ли у ней голова?

Татьяна хотела было сперва отвечать, что нет, но, одумавшись, сказала: "Да, немножко".

-- С дороги, -- промолвил Литвинов и даже покраснел от стыда.

-- С дороги, -- повторила Татьяна, и взор ее опять скользнул по нем.

-- Надо тебе отдохнуть, Танечка.

-- Я и так скоро спать лягу, тетя.

На столе лежал "Guide des Voyageurs"; Литвинов принялся читать вслух описание баденских окрестностей.

-- Все это так, -- перебила его Капитолина Марковна, -- но вот что не надо забыть. Говорят, здесь полотно очень дешево, так вот бы купить для приданого.

Татьяна опустила глаза.

-- Успеем, тетя. Вы о себе никогда не думаете, а вам непременно надо сшить себе платье. Видите, какие здесь все ходят нарядные.

-- Э, душа моя! к чему это? Что я за щеголиха! Добро бы я была такая красивая, как эта ваша знакомая, Григорий Михайлыч, как бишь ее?

-- Какая знакомая?

-- Да вот, что мы встречали сегодня.

-- А, та! -- с притворным равнодушием проговорил Литвинов, и опять гадко и стыдно стало ему. "Нет! -- подумал он, -- этак продолжать невозможно".

Он сидел подле своей невесты, а в нескольких вершках расстояния от нее, в боковом его кармане, находился платок Ирины.

Капитолина Марковна вышла на мипуту в другую комнату.

-- Таня... -- сказал с усилием Литвинов. Он в первый раз в тот день назвал ее этим именем.

Она обернулась к нему.

-- Я... я имею сказать вам нечто очень важное.

-- А! В самом деле? Когда? Сейчас?

-- Нет, завтра.

-- А! завтра. Ну, хорошо.

Бесконечная жалость мгновенно наполнила душу Литвинова. Он взял руку Татьяны и поцеловал ее смиренно, как виноватый; сердце в ней тихонько сжалось, и не порадовал ее этот поцелуй.

Ночью, часу во втором, Капитолина Марковна, которая спала в одной комнате с своей племянницей, вдруг приподняла голову и прислушалась.

-- Таня! -- промолвила она, -- ты плачешь?

Татьяна не тотчас отвечала.

-- Нет, тетя, -- послышался ее кроткий голосок, -- у меня насморк.

XX

"Зачем я это ей сказал?" -- думал на следующее утро Литвинов, сидя у себя в комнате, перед окном. Он с досадой пожал плечами: он именно для того и сказал это Татьяне, чтоб отрезать себе всякое отступление. На окне лежала записка от Ирины; она звала его к себе к двенадцати часам. Слова Потугина беспрестанно приходили ему на память; они проносились зловещим, хотя слабым, как бы подземным гулом; он сердился и никак не мог отделаться от них. Кто-то постучался в дверь.

-- Wer da? -- спросил Литвинов.

-- А! вы дома! Отоприте! -- раздался хриплый бас Биндасова.

Ручка замка затрещала.

Литвинов побледнел со злости.

-- Нет меня дома, -- промолвил он резко.

-- Как нет дома? Это еще что за штука?

-- Говорят вам -- нет дома; убирайтесь.

-- Вот это мило! А я пришел было денежек попризанять, -- проворчал Биндасов.

Однако он удалился, стуча, по обыкновению, каблуками.

Литвинов чуть не выскочил ему вслед: до того захотелось ему намять шею противному наглецу. События последних дней расстроили его нервы: еще немного -- и он бы заплакал. Он выпил стакан холодной воды, запер, сам не зная зачем, все ящики в мебелях и пошел к Татьяне.

Он застал ее одну. Капитолина Марковна отправилась по магазинам за покупками. Татьяна сидела на диване и держала обеими руками книжку: она ее не читала и едва ли даже знала, что

это была за книжка. Она не шевелилась, но сердце сильно билось в ее груди, и белый воротничок вокруг ее шеи вздрагивал заметно и мерно.

Литвинов смутился... однако сел возле нее, поздоровался, улыбнулся: и она безмолвно ему улыбнулась. Она поклонилась ему, когда он вошел, поклонилась вежливо, не по-дружески -- и не взглянула на него. Он протянул ей руку; она подала ему свои похолодевшие пальцы, тотчас высвободила их и снова взялась за книжку. Литвинов чувствовал, что начать беседу с предметов маловажных значило оскорбить Татьяну; она, по обыкновению, ничего не требовала, но все в ней говорило: "Я жду, я жду... " Надо было исполнить обещание. Но он -- хотя почти всю ночь ни о чем другом не думал, -- он не приготовил даже первых, вступительных слов и решительно не знал, каким образом перервать это жестокое молчание.

-- Таня, -- начал он наконец, -- я сказал вам вчера, что имею сообщить вам нечто важное (он в Дрездене наедине с нею начинал говорить ей "ты", но теперь об этом и думать было нечего). Я готов, только прошу вас заранее не сетовать на меня и быть уверенной, что мои чувства к вам...

Он остановился. Ему дух захватило. Татьяна все не шевелилась и не глядела на него, только крепче прежнего стискивала книгу.

-- Между нами, -- продолжал Литвинов, не докончив начатой речи, -- между нами всегда была полная откровенность; я слишком уважаю вас, чтобы лукавить с вами; я хочу доказать вам, что умею ценить возвышенность и свободу вашей душн, и хотя я... хотя, конечно...

-- Григорий Михайлыч, -- начала Татьяна ровным голосом, и все лицо ее покрылось мертвенною бледностью, я приду вам на помощь: вы разлюбили меня и не знаете, как мне это сказать.

Литвинов невольно вздрогнул.

-- Почему же?.. -- проговорил он едва внятно. Почему вы могли подумать?.. Я, право, не понимаю...

-- Что же, не правда это? Не правда это, скажите? скажите?

Татьяна повернулась к Литвинову всем телом; лицо ее с отброшенными назад волосами приблизилось к его лицу, и глаза ее, так долго на него не глядевшие, так и впились в его глаза

-- Не правда это? -- повторила она.

Он ничего не сказал, не произнес ни одного звука. Он бы не мог солгать в это мгновение, если бы даже знал, что она ему поверит и что его ложь спасет ее; он даже взор ее вынести был не в силах. Литвинов ничего не сказал, но она уже не нуждалась в ответе; она прочла этот ответ в самом его молчании, в этих виноватых, потупленных глазах -- и откинулась назад и уронила книгу... Она еще сомневалась до того мгновенья, и Литвинов это понял; он понял, что она еще сомневалась -- и как безобразно, действительно безобразно было все, что он сделал!

Он бросился перед нею на колени.

-- Таня, -- воскликнул он, -- если бы ты знала, как мне тяжело видеть тебя в этом положении, как ужасно мне думать, что это я... я! У меня сердце растерзано; я сам себя не узнаю; я потерял себя, и тебя, и все... Все разрушено, Таня, все! Мог ли я ожидать, что я... я нанесу такой удар тебе, моему лучшему другу, моему ангелу -хранителю!.. Мог ли я ожидатъ, что мы так с тобой увидимся, такой

проведем день, каков был вчерашний!.. Татьяна хотела было встать и удалиться. Он удержал ее за край ее одежды.

-- Нет, выслушай меня еще минуту. Ты видишь, я перед тобою на коленях, но не прощения пришел я просить -- ты не можешь и не должна простить меня, я пришел тебе сказать, что друг твой погиб, что он падает в бездну и не хочет увлекать тебя с собою... А спасти меня... нет!даже ты не можешь спасти меня. Я сам бы оттолкнул тебя... Я погиб, Таня, я безвозвратно погиб! Татьяна посмотрела на Литвинова.

-- Вы погибли? -- проговорила она, как бы не вполне его понимая. Вы погибли?

-- Да, Таня, я погиб. Все прежнее, все дорогое, все, чем я доселе жил, погибло для меня; все разрушено, все порвано, и я не знаю, что меня ожидает впереди. Ты сейчас мне сказала, что я разлюбил тебя... Нет, Таня, я не разлюбил тебя, но другое, страшное, неотразимое чувство налетело, нахлынуло на меня. Я противился, пока мог.

Татьяна встала; ее брови сдвинулись; бледное лицо потемнело. Литвинов тоже поднялся.

-- Вы полюбили другую женщину, -- начала она, -- и я догадываюсь, кто она... Мы с ней вчера встретились, не правда ли?.. Что ж! Я знаю, что мне теперь остается делать. Так как вы сами говорите, что это чувство в вас неизменно... (Татьяна остановилась на миг; быть может, она еще надеялась, что Литвинов не пропустит этого последнего слова без возражения, но он ничего не сказал) то мне остается возвратить вам... ваше слово.

Литвинов наклонил голову, как бы с покорностью принимая заслуженный удар.

-- Вы имеете право негодовать на меня, промолвил он, -- вы имеете полное право упрекать меня в малодушии... в обмане.

Татьяна снова посмотрела на него.

-- Я не упрекала вас, Литвинов, я не обвиняю вас. Я с вами согласна: самая горькая правда лучше того, что происходило вчера. Что за жизнь теперь была бы наша!

"Что за жизнь будет моя теперь!" -- скорбно отозвалось в душе Литвинова.

Татьяна приблизилась к двери спальни.

-- Я вас прошу оставить меня одну на несколько времени, Григорий Михайлыч, -- мы еще увидимся, мы еще потолкуем. Все это было так неожиданно. Мне надо немного собраться с силами... оставьте меня... пощадите мою гордость. Мы еще увидимся.

И, сказав эти слова, Татьяна проворно удалилась и заперла за собою дверь на ключ.

Литвинов вышел на улицу как отуманенный, как оглушенный; что-то темное и тяжелое внедрилось в самую глубь его сердца; подобное ощущение должен испытать человек, зарезавший другого, и между тем легко ему становилось, как будто он сбросил, наконец, ненавистную ношу. Великодушие Татьяны его уничтожило, он живо чувствовал все, что он терял... И что же? К раскаянию его примешивалась досада; он стремился к Ирине как к единственно оставшемуся убежищу -- и злился на нее. С некоторых пор и с каждым днем чувства Литвинова становились все сложнее и запутаннее; эта путаница мучила, раздражала его, он терялся в этом хаосе. Он жаждал одного: выйти наконец на дорогу, на какую бы то ни было, лишь бы не

кружиться более в этой бестолковой полутьме. Людям положительным, вроде Литвинова, не следовало бы увлекаться страстью; она нарушает самый смысл их жизни... Но природа не справляется с логикой, с нашей человеческою логикой: у ней есть своя, которую мы не понимаем и не признаем до тех пор, пока она нас, как колесом, не переедет.

Расставшись с Татьяной, Литвинов держал одно в уме: увидеться с Ириной; он и отправился к ней. Но генерал был дома, так, по крайней мере, сказал ему швейцар, и он не захотел войти, он не чувствовал себя в состоянии притвориться и поплелся к Конверсационсгаузу. Неспособность Литвинова притворяться в этот день испытали на себе и Ворошилов и Пищалкин, которые попались ему навстречу: он так и брякнул одному, что он пуст, как бубен, другому, что он скучен до обморока; хорошо еще, что Биндасов не подвернулся: наверное, произошел бы "grosser Scandal". Оба молодые человека изумились; Ворошилов даже вопрос себе поставил: не требует ли офицерская честь удовлетворения? -- но, как гоголевский поручик Пирогов, успокоил себя в кофейной бутербродами. Литвинов увидал издали Капитолину Марковну, хлопотливо перебегавшую в своей пестрой мантилье из лавки в лавку... Совестно стало ему перед доброю, смешною, благородною старушкой. Потом он вспомнил о Потугине, о вчерашнем разговоре... Но вот что-то повеяло на него, что-то неосязаемое и несомненное; если бы дуновение шло от падающей тени, оно бы не было неуловимее, но он тотчас почувствовал, что это приближалась Ирина. Действительно: она появилась в нескольких шагах от него под руку с другой дамой; глаза их тотчас встретились. Ирина, вероятно, заметила что-то особенное в выражении лица у Литвинова; она остановилась перед лавкой, в которой продавалось множество крошечных деревянных часов шварцвальдского изделия, подозвала его к себе движением головы и, показывая ему одни из этих часиков, прося его полюбоваться миловидным циферблатом с раскрашенной кукушкой наверху, промолвила не шепотом, а обыкновенным своим голосом, как бы продолжая начатую фразу, -- оно меньше привлекает внимание посторонних:

-- Приходите через час, я буду дома одна.

Но тут подлетел к ней известный дамский угодник мсье Вердие и начал приходить в восторг от цвета feuille morte ее платья, от ее низенькой испанской шляпки, надвинутой на самые брови... Литвинов исчез в толпе.

XXI

-- Григорий, -- говорила ему два часа спустя Ирина, сидя возле него на кушетке и положив ему обе руки на плечо, -- что с тобой? Скажи мне теперь, скорее, пока мы одни.

-- Со мною? -- промолвил Литвинов. Я счастлив, счастлив, вот что со мной.

Ирина потупилась, улыбнулась, вздохнула.

-- Это не ответ на мой вопрос, мой милый.

Литвинов задумался.

-- Ну так знай же... так как ты этого непременно требуешь (Ирина широко раскрыла глаза и слегка отшатнулась), я сегодня все сказал моей невесте.

-- Как все? Ты меня назвал?

Литвинов даже руками всплеснул.

-- Ирина, ради бога, как могла тебе такая мысль в голову прийти! чтобы я...

-- Ну извини меня... извини меня. Что же ты сказал?

-- Я сказал ей, что я не люблю ее более.

-- Она спросила, почему?

-- Я не скрыл от нее, что я полюбил другую и что мы должны расстаться.

-- Ну... и что же она? Согласна?

-- Ах, Ирина! что это за девушка! Она вся самоотвержение, вся благородство.

-- Верю, верю... впрочем, ей другого ничего и не оставалось.

-- И ни одного упрека, ни одного горького слова мне, человеку, который испортил всю ее жизнь, обманул ее, бросил безжалостно...

Ирина рассматривала свои ногти.

-- Скажи мне, Григорий... она тебя любила?

-- Да, Ирина, она любила меня.

Ирина помолчала, оправила платье.

-- Признаюсь, -- начала она, -- я хорошенько не понимаю, зачем это тебе вздумалось с нею объясняться?

-- Как зачем, Ирина! Неужели бы ты хотела, чтоб я лгал, притворялся перед нею, перед этою чистою душой? Или ты полагала...

-- Я ничего не полагала, -- перебила Ирина. Я, каюсь, мало о ней думала... Я не умею думать о двух людях разом.

-- То есть ты хочешь сказать...

-- Ну и что ж? Она уезжает, эта чистая душа? -- вторично перебила Ирина.

-- Я ничего не знаю, -- отвечал Литвинов. Я еще должен увидаться с ней. Но она не останется.

-- А! счастливый путь!

-- Нет, она не останется. Впрочем, я теперь тоже не о ней думаю, я думаю о том, что ты мне сказала, что ты обещала мне.

Ирина исподлобья посмотрела на него.

-- Неблагодарный! ты еще не доволен?

-- Нет, Ирина, я не доволен. Ты меня осчастливила, но я не доволен, и ты меня понимаешь.

-- То есть я...

-- Да, ты понимаешь меня. Вспомни твои слова, вспомни, что ты мне писала. Я не могу делиться с другим, нет, нет, я не могу согласиться на жалкую роль тайного любовника, я не одну мою жизнь, я и другую жизнь бросил к твоим ногам, я от всего отказался, я все разбил в прах, без сожаления и без возврата, но зато я верю, я твердо убежден, что и ты сдержишь свое обещание и соединишь навсегда твою участь с моею...

-- Ты хочешь, чтоб я бежала с тобою? Я готова... (Литвинов восторженно припал к ее рукам.) Я готова, я не отказываюсь от своего слова. Но ты сам обдумал ли те затруднения... приготовил ли средства?

-- Я? Я еще ничего не успел ни обдумать, ни приготовить, но скажи только: да, позволь мне действовать, и месяца не пройдет...

-- Месяца! Мы через две недели уезжаем в Италию.

-- Мне и двух недель достаточно. О Ирина! ты как будто холодно принимаешь мое предложение, быть может, оно кажется тебе мечтательным, но я не мальчик, я не привык тешиться мечтами, я знаю, какой это страшный шаг, знаю, какую я беру на себя ответственность; но я не вижу другого исхода. Подумай наконец, мне уже для того должно навсегда разорвать все связи с прошедшим, чтобы не прослыть презренным лгуном в глазах той девушки, которую я в жертву тебе принес!

Ирина вдруг выпрямилась, и глаза ее засверкали.

-- Ну уж извините, Григорий Михайлыч! Если я решусь, если я убегу, так убегу с человеком, который это сделает для меня, собственно для меня, а не для того, чтобы не уронить себя во мнении флегматической барышни, у которой в жилах вместо крови вода с молоком, du lait coupe! И еще скажу я вам: мне, признаюсь, в первый раз довелось услышать, что тот, к кому я благосклонна, достоин сожаления, играет жалкую роль! Я знаю роль более жалкую: роль человека, который сам не знает, что происходит в его душе!

Литвинов выпрямился в свою очередь.

-- Ирина, -- начал было он...

Но она вдруг прижала обе ладони ко лбу и, с судорожным порывом бросившись ему на грудь, обняла его с неженскою силой.

-- Прости меня, прости меня, -- заговорила она трепетным голосом, -- прости меня, Григорий. Ты видишь, как я испорчена, какая я гадкая, ревнивая, злая! Ты видишь, как я нуждаюсь в твоей помощи, в твоем снисхождении! Да, спаси меня, вырви меня из этой бездны, пока я не совсем еще погибла! Да, убежим, убежим от этих людей, от этого света в какой-нибудь далекий, прекрасный, свободный край! Быть может, твоя Ирина станет, наконец, достойнее тех жертв, которые ты ей приносишь! Не сердись на меня, прости меня, мой милый, -- и знай, что я сделаю все, что ты прикажешь, пойду всюду, куда ты меня поведешь!

Сердце перевернулось в Литвинове. Ирина сильнее прежнего прижималась к нему всем своим молодым и гибким телом. Он нагнулся к ее душистым рассыпанным волосам и, в опьянении благодарности и восторга, едва дерзал ласкать их рукой, едва касался до них губами.

-- Ирина, Ирина, -- твердил он, -- мой ангел..

Она внезапно приподняла голову, прислушалась...

-- Это шаги моего мужа... он вошел в свою комнату, -- прошептала она и, проворно отодвинувшись, пересела на кресло. Литвинов хотел было встать... -- Куда же ты? -- продолжала она тем же шепотом, -- останься, он уже и так тебя подозревает. Или ты боишься его? -- Она не спускала глаз с двери. Да, это он; он сейчас сюда придет. Рассказывай мне что-нибудь, говори со мною. -- Литвинов не мог тотчас найтись и молчал. Вы не пойдете завтра в театр? -- произнесла она громко. Дают "Le Verre d'eau, устарелая пиеса, и Плесси ужасно кривляется... Мы точно в лихорадке, -- прибавила она, понизив голос, -- этак нельзя; это надо хорошенько обдумать. Я должна предупредить тебя, что все мои деньги у него; mais j'ai mes bijoux. Уедем в Испанию, хочешь? -- Она снова возвысила голос. Отчего это все актрисы толстеют? Вот, хоть Madeleine Brohan... Да говори же, не сиди так молча. У меня голова кружится. Но ты не должен сомневаться во мне... Я тебе дам знать, куда тебе завтра прийти. Только ты напрасно сказал той барышне... Ah, mais c'est charmant! -- воскликнула она вдруг и, засмеявшись нервически, оборвала оборку платка.

-- Можно войти? -- спросил из другой комнаты Ратмиров.

-- Можно... можно.

Дверь отворилась, и на пороге появился генерал. Он поморщился при виде Литвинова, однако поклонился ему, то есть качнул верхнею частью корпуса.

-- Я не знал, что у тебя гость, -- промолвил он, je vous demande pardon de mon indiscretion. А вас Баден все еще забавляет, мсье... Литвинов?

Ратмиров всегда произносил фамилию Литвинова с запинкой, точно он всякий раз забывал, не тотчас припоминал ее... Этим да еще преувеличенно приподнятою шляпой при поклоне он думал его уязвить.

-- Я здесь не скучаю, мсье le general.

-- В самом деле? А мне Баден страшно приелся. Мы скоро отсюда уезжаем, не правда ли, Ирина Павловна? Assez de Bade comme ca. Впрочем, я на ваше счастье сегодня пятьсот франков выиграл.

Ирина кокетливо протянула руку.

-- Где ж они? Пожалуйте. На булавки.

-- За мной, за мной... А вы уже уходите, мсье... Литвинов.

-- Да-с, ухожу, как изволите видеть.

Ратмиров опять качнул корпусом.

-- До приятного свидания!

-- Прощайте, Григорий Михайлыч, -- промолвила Ирина. А я сдержу свое обещание.

-- Какое? Можно полюбопытствовать? -- спросил ее муж.

Ирина улыбнулась.

-- Нет, это так... между нами. C'est a propos du voyage ou il vous plaira. Ты знаешь -- сочинение Сталя?

-- А! как же, как же, знаю. Премилые рисунки.

Ратмиров казался в ладах с женою: он говорил ей "ты".

XXII

"Уж лучше не думать, право, -- твердил Литвинов, шагая по улице и чувствуя, что внутренняя возня снова поднимается в нем. Дело решенное. Она сдержит свое обещание, и мне остается принять все нужные меры... Но она словно сомневается... " Он встряхнул головой. Ему самому в странном свете представлялись собственные намерения; чем-то натянутым и неправдоподобным отзывались они. Нельзя долго носиться с одними и теми же мыслями: они передвигаются постепенно, как стеклышки калейдоскопа... смотришь: уж образы совсем не те перед глазами. Ощущение глубокой усталости овладело Литвиновым... Отдохнуть бы хоть часик... Но Таня? Он встрепенулся и, уже не рассуждая, покорно побрел домой, и только в голову ему пришло, что его сегодня как мяч перебрасывает от одной к другой... Все равно: надо было покончить. Он вернулся в гостиницу и так же покорно, почти бесчувственно, без колебания и замедления, отправился к Татьяне.

Его встретила Капитолина Марковна. С первого взгляда на нее он уже знал, что ей все было известно: глаза бедной девицы опухли от слез, и окаймленное взбитыми белыми локонами покрасневшее лицо выражало испуг и тоску негодования, горя и безграничного изумления. Она устремилась было к Литвинову, но тут же остановилась и, закусив трепетавшие губы, глядела на него так, как будто и умолить его хотела, и убить, и увериться, что все это сон, безумие, невозможное дело, не правда ли?

-- Вот вы... вы пришли, пришли, -- заговорила она... Дверь из соседней комнаты мгновенно распахнулась -- и до прозрачности бледная, но спокойная, легкою походкой вошла Татьяна.

Она тихонько обняла тетку одною рукой и посадила ее возле себя.

-- Сядьте и вы, Григорий Михайлыч, -- сказала она Литвинову, который стоял, как потерянный, у двери. Я очень рада, что еще раз вижусь с вами. Я сообщила тетушке ваше решение, наше общее решение, она вполне его разделяет и одобряет... Без взаимной любви не может быть счастья, одного взаимного уважения недостаточно (при слове "уважение" Литвинов невольно потупился) и лучше расстаться прежде, чем раскаиваться потом. Не правда ли, тетя?

-- Да, конечно, -- начала Капитолина Марковна, -- конечно, Танюша, тот, кто не умеет оценить тебя... кто решился.

-- Тетя, тетя, -- перебила ее Татьяна, -- помните, что вы мне обещали. Вы сами мне всегда говорили: правда, Татьяна, правда прежде всего -- и свобода. Ну, а правда не всегда сладка бывает, и свобода тоже; а то какая была бы наша заслуга?

Она нежно поцеловала Капитолину Марковну в ее белые волосы и, обратившись к Литвинову, продолжала:

-- Мы с тетей положили уехать из Бадена... Я думаю, для всех нас этак будет лучше.

-- Когда вы думаете уехать? -- глухо проговорил Литвинов.

Он вспомнил, что те же самые слова ему недавно сказала Ирина.

Капитолина Марковна подалась было вперед, но Татьяна удержала ее, ласково коснувшись ее плеча.

-- Вероятно, скоро, очень скоро.

-- И позволите ли вы мне спросить, куда вы намерены ехать? -- тем же голосом проговорил Литвинов.

-- Сперва в Дрезден, потом, вероятно, в Россию.

-- Да на что же вам теперь это нужно знать, Григорий Михайлыч?.. -- воскликнула Капитолина Марковна.

-- Тетя, тетя, -- вмешалась опять Татьяна.

Наступило небольшое молчание.

-- Татьяна Петровна, -- начал Литвинов, -- вы понимаете, какое мучительно-тяжелое и скорбное чувство я должен испытывать в это мгновение...

Татьяна встала.

-- Григорий Михайлыч, -- промолвила она, -- не будемте говорить об этом... Пожалуйста, прошу вас, если не для вас, так для меня. Я не со вчерашнего дня вас знаю и хорошо могу себе представить, что вы должны чувствовать теперь. Но к чему говорить, к чему растравливать...

(Она остановилась: видно было, что она хотела переждать поднявшееся в ней волнение, поглотить уже накипавшие слезы; ей это удалось.) К чему растравливать рану, которую нельзя излечить? Предоставимте это времени. А теперь у меня до вас просьба, Григорий Михайлыч; будьте так добры, я вам дам сейчас письмо: отнесите это письмо на почту сами, оно довольно важно, а нам с тетей теперь некогда... Я вам очень буду благодарна. Подождите минутку... я сейчас.

На пороге двери Татьяна с беспокойством оглянулась на Капитолину Марковну; но она так важно и чинно сидела, с таким строгим выражением в нахмуренных бровях и крепко сжатых губах, что Татьяна только головой ей кивнула и вышла.

Но едва лишь дверь за ней закрылась, как всякое выражение важности и строгости мгновенно исчезло с лица Капитолины Марковны: она встала, на цыпочках подбежала к Литвинову и, вся сгорбившись и стараясь заглянуть ему в глаза, заговорила трепетным, слезливым шепотом.

-- Господи боже мой, -- заговорила она, -- Григорий Михайлыч, что ж это такое: сон это, что ли? Вы отказываетесь от Тани, вы ее разлюбили, вы изменяете своему слову! Вы это делаете, Григорий Михайлыч, вы, на кого мы все надеялись, как на каменную стену! Вы? Вы? Вы? Ты,

Гриша?.. -- Капитолина Марковна остановилась. Да ведь вы ее убьете, Григорий Михайлыч, -- продолжала она, не дождавшись ответа, а слезы так и покатились мелкими капельками по ее щекам. Вы не смотрите на нее, что она теперь храбрится, вы ведь знаете, какой у ней нрав! Она никогда не жалуется; она себя не жалеет, так другие должны ее жалеть! Вот она теперь мне толкует: "Тетя, надо сохранить наше достоинство!", а какое тут достоинство, когда я смерть, смерть предвижу... -- Татьяна стукнула стулом в соседней комнате. Да, смерть предвижу, -- подхватила еще тише старушка. И что такое могло сделаться? Приворожили вас, что ли? Давно ли вы писали ей самые нежные письма? Да и, наконец, разве честный человек так может поступать? Я, вы знаете, женщина без всяких предрассудков, esrit fort, я и Тане дала такое же воспитание, у ней тоже свободная душа...

-- Тетя! -- раздался из соседней комнаты голос Татьяны.

-- Но честное слово -- это долг, Григорий Михайлыч. Особенно для людей с вашими, с нашими правилами! Коли мы долга признавать не будем, что ж у нас останется? Этого нельзя нарушать -- так, по собствешюй прихоти, не соображаясь с тем, что каково, мол, другому! Это бессовестно... да, это -- преступление; какая же это свобода!

-- Тетя, поди сюда, пожалуйста, -- послышалось снова.

-- Сейчас, душа моя, сейчас... -- Капитолина Марковна схватила Литвинова за руку. Я вижу, вы сердитесь, Григорий Михайлыч... ("Я?! я сержусь?!" -- хотелось ему воскликнуть, но язык его онемел.) Я не хочу сердить вас -- о господи! до того ли мне! -- я, напротив, просить вас хочу: одумайтесь, пока есть время, не губите ее, не губите собственного счастия, она еще поверит вам, Гриша, она поверит тебе, ничего еще не пропало; ведь она тебя любит так, как никто, никогда не полюбит тебя! Брось этот ненавистный Баден-Баден, уедем вместе, выйдь только из-под этого волшебства, а главное: пожалей, пожалей.

-- Да тетя, -- промолвила Татьяна с оттенком нетерпения в голосе.

Но Капитолина Марковна не слушала ее.

-- Скажи только "да!" -- твердила она Литвинову-а уж я все улажу... Ну хоть головой мне кивни! головкой-то хоть разочек, вот так!

Литвинов охотно, кажется, умер бы в эту минуту; но слова "да!" он не произнес; и головой он не кивнул.

С письмом в руке появилась Татьяна. Капитолина Марковна тотчас отскочила от Литвинова и, отвернув лицо в сторону, низко нагнулась над столом, как бы рассматривая лежавшие на нем счеты и бумаги.

Татьяна приблизилась к Литвинову.

-- Вот, -- сказала она, -- то письмо, о котором я вам говорила... Вы сейчас пойдете на почту, не правда ли?

Литвинов поднял глаза... Перед ним действительно стоял его судья. Татьяна показалась ему выше, стройнее; просиявшее небывалою красотой лицо величаво окаменело, как у статуи; грудь не поднималась, и платье, одноцветное и тесное, как хитон, падало прямыми, длинными складками мраморных тканей к ее ногам, которые оно закрывало. Татьяна глядела прямо перед

собой, не на одного только Литвинова, и взгляд ее, ровный и холодный, был также взглядом статуи. Он прочел в нем свой приговор; наклонился, взял письмо из неподвижно протянутой к нему руки и удалился молча.

Капитолина Марковна бросилась к Татьяне, но та отклонила ее объятия и опустила глаза, краска распространилась по ее лицу, и с словами: "Ну, теперь скорее!" -- она вернулась в спальню; Капитолина Марковна последовала за ней, повесив голову.

На письме, врученном Литвинову Татьяной, стоял адрес одной ее дрезденской приятельницы, немки, которая отдавала внаем небольшие меблированные квартиры. Литвинов опустил письмо в ящик, и ему показалось, что вместе с этим маленьким клочком бумажки он все свое прошедшее, всю жизнь свою опустил в могилу. Он вышел за город и долго бродил по узким тропинкам между виноградниками; он не мог отбиться, как от жужжания назойливой летней мухи, от постоянного ощущения презрения к самому себе: уж очень незавидную роль разыграл он в этом последнем свидании... А когда он вернулся в гостиницу и спустя несколько времени осведомился о своих дамах, ему ответили, что они тотчас после его ухода велели отвезти себя на железную дорогу и отправились с почтовым поездом неизвестно куда. Вещи их были уложены и счеты уплачены с утра. Татьяна попросила Литвинова отнести письмо на почту, очевидно, с целью удалить его. Он попытался спросить швейцара, не оставили ли эти дамы на его имя записки; но швейцар отвечал отрицательно и даже изумился; видно было, что и ему этот внезапный отъезд с нанятой за неделю квартиры казался сомнительным и странным. Литвинов повернулся к нему спиной и заперся у себя в комнате.

Он не выходил из нее до следующего дня: большую часть ночи он просидел за столом, писал и рвал написанное... Заря уже занималась, когда он окончил свою работу, -- то было письмо к Ирине.

XXIII

Вот что стояло в этом письме к Ирине:

"Моя невеста уехала вчера: мы с ней никогда больше не увидимся... я даже не знаю наверное, где она жить будет. Она унесла с собою все, что мне до сих пор казалось желанным и дорогим; все мои предположения, планы, намерения исчезли вместе с нею; самые труды мои пропали, продолжительная работа обратилась в ничто, все мои занятия не имеют никакого смысла и применения; все это умерло, мое я, мое прежнее я умерло и похоронено со вчерашнего дня. Я это ясно чувствую, вижу, знаю... и нисколько об этом не жалею. Не для того, чтобы жаловаться, заговорил я об этом с тобою... Мне ли жаловаться, когда ты меня любишь, Ирина! Я только хотел сказать тебе, что из всего этого мертвого прошлого, изо всех этих -- в дым и прах обратившихся -- начинаний и надежд осталось одно живое, несокрушимое: моя любовь к тебе. Кроме этой любви, у меня ничего нет и не осталось; назвать ее моим единственным сокровищем было бы недостаточно; я весь в этой любви, эта любовь -- весь я; в ней мое будущее, мое призвание, моя святыня, моя родина! Ты меня знаешь, Ирина, ты знаешь, что всякая фраза мне чужда и противна, и, как ни сильны слова, в которых я стараюсь выразить мое чувство, ты не заподозришь их искренности, ты не найдешь их преувеличенными. Не мальчик в порыве минутного восторга лепечет пред тобою необдуманные клятвы, а человек, уже испытанный летами, просто и прямо,

чуть не с ужасом, высказывает то, что он признал несомненною правдой. Да, любовь твоя все для меня заменила -- все, все! Суди же сама: могу ли я оставить это все в руках другого, могу ли я позволить ему располагать тобою? Ты, ты будешь принадлежать ему, все существо мое, кровь моего сердца будет принадлежать ему -- а я сам... где я? что я?

В стороне, зрителем... зрителем собственной жизни! Нет, это невозможно, невозможно! Участвовать, украдкой участвовать в том, без чего незачем, невозможно дышать... это ложь и смерть. Я знаю, какой великой жертвы я требую от тебя, не имея на то никакого права, да и что может дать право на жертву? Но не из эгоизма поступаю я так: эгоисту было бы легче и спокойнее не поднимать вовсе этого вопроса. Да, требования мои тяжелы, и я не удивлюсь, если они тебя испугают. Тебе ненавистны люди, с которыми ты жить должна, ты тяготишься светом, но в силах ли ты бросить этот самый свет, растоптать венец, которым он тебя венчал, восстановить против себя общественное мнение, мнение тех ненавистных людей? Вопроси себя, Ирина, не бери на себя ношу не по плечам. Я не хочу упрекать тебя, но помни: ты уже раз не устояла против обаяния. Я так мало могу тебе дать взамен того, что ты потеряешь! Слушай же мое последнее слово: если ты не чувствуешь себя в состоянии завтра же, сегодня же все оставить и уйти вслед за мною -- видишь, как я смело говорю, как я себя не жалею, -- если тебя страшит неизвестность будущего, и отчуждение, и одиночество, и порицание людское, если ты не надеешься на себя, одним словом -- скажи мне это откровенно и безотлагательно, и я уйду; я уйду с растерзанною душою, но благословлю тебя за твою правду. Если же ты, моя прекрасная, лучезарная царица, действительно полюбила такого маленького и темного человека, каков я, и действительно готова разделить его участь -- ну, так дай мне руку и отправимся вместе в наш трудный путь! Только знай, мое решение несомненно: или все, или ничего! Это безумно... но я не могу иначе, не могу, Ирина! Я слишком сильно тебя люблю.

Твой Г. Л. "

Письмо это не очень понравилось самому Литвинову; оно не совсем верно и точно выражало то, что он хотел сказать; неловкие выражения, то высокопарные, то книжные, попадались в нем, и, уж конечно, оно не было лучше многих других, им изорванных писем; но оно пришлось последним, главное все-таки было высказано -- и, усталый, измученный, Литвинов не чувствовал себя способным извлечь что-нибудь другое из своей головы. К тому же он не обладал умением литературно изложить всю мысль и, как все люди, которым это не в привычку, заботился о слоге. Первое его письмо было, вероятно, самым лучшим: оно горячее вылилось из сердца. Как бы то ни было, Литвинов отправил к Ирине свое послание.

Она отвечала ему коротенькою запиской.

"Приходи сегодня ко мне, -- писала она ему: -- он отлучился на целый день. Твое письмо меня чрезвычайно взволновало. Я все думаю, думаю... и голова кружится от дум. Мне очень тяжело, но ты меня любишь, и я счастлива. Приходи.

Твоя И. "

Она сидела у себя в кабинете, когда Литвинов вошел к ней. Его ввела та же тринадцатилетняя девочка, которая накануне караулила его на лестнице. На столе перед Ириной стоял раскрытый полукруглый картон с кружевами; она рассеянно перебирала их одною рукой, в другой она держала письмо Литвинова. Она только что перестала плакать: ресницы ее смокли и веки

припухли: на щеках виднелись следы неотертых слез. Литвинов остановился на пороге: она не заметила его входа.

-- Ты плачешь? -- проговорил он с изумлением.

Она встрепенулась, провела рукой по волосам и улыбнулась.

-- Отчего ты плачешь? -- повторил Литвинов. Она молча показала ему на письмо. Так ты от этого... -- промолвил он с расстановкой.

-- Подойди сюда, сядь, -- сказала она, -- дай мне руку. Ну, да, я плакала... Чему же ты удивляешься? Разве это легко? -- Она опять указала на письмо.

Литвинов сел.

-- Я знаю, что это нелегко, Ирина, я то же самое говорю тебе в моем письме... Я понимаю твое положение. Но если ты веришь в значение твоей любви для меня, если слова мои тебя убедили, ты должна также понять, что я чувствую теперь при виде твоих слез. Я пришел сюда как подсудимый и жду: что мне объявят? Смерть или жизнь? Твой ответ все решит. Только не гляди на меня такими глазами... Они напоминают мне прежние, московские глаза.

Ирина вдруг покраснела и отвернулась, как будто сама чувствуя что-то неладное в своем взоре.

-- Что ты это говоришь, Григорий? Как не стыдно тебе! Ты желаешь знать мой ответ... да разве ты можешь в нем сомневаться! Тебя смущают мои слезы... но ты их не понял. Твое письмо, друг мой, навело меня на размышления. Вот ты пишешь, что моя любовь для тебя все заменила, что даже все твои прежние занятия теперь должны остаться без применения; а я спрашиваю себя, может ли мужчина жить одною любовью? Не прискучит ли она ему наконец, не захочет ли он деятельности и не будет ли он пенять на то, что его от нее отвлекло? Вот какая мысль меня пугает, вот чего я боюсь, а не то, что ты предполагал.

Литвинов внимательно поглядел на Ирину, и Ирина внимательно поглядела на него, точно каждый из них желал глубже и дальше проникнуть в душу другого, глубже и дальше того, чего может достигнуть, что может выдать слово.

-- Ты напрасно этого боишься, -- начал Литвинов, я, должно быть, дурно выразился. Скука? Бездействие? При тех новых силах, которые мне даст твоя любовь? О Ирина, поверь, в твоей любви для меня целый мир, и я сам еще не могу теперь предвидеть все, что может развиться из него!

Ирина задумалась.

-- Куда же мы поедем? -- шепнула она.

-- Куда? Об этом мы еще поговорим. Но, стало быть... стало быть, ты согласна? согласна, Ирина?

Она посмотрела на него.

-- И ты будешь счастлив?

-- О Ирина!

-- Ни о чем жалеть не будешь? Никогда?

Она нагнулась к картону с кружевами и снова принялась перебирать их.

-- Не сердись на меня, мой милый, что я в подобные минуты занимаюсь этим вздором... Я принуждена ехать на бал к одной даме, мне прислали эти тряпки, и я должна выбрать сегодня. Ах! мне ужасно тяжело! -- воскликнула она вдруг и приложилась лицом к краю картона. Слезы снова закапали из ее глаз... Она отвернулась: слезы могли попасть на кружева.

-- Ирина, ты опять плачешь, -- начал с беспокойством Литвинов.

-- Ну да, опять, -- подхватила Ирина. Ах, Григорий, не мучь меня, не мучь себя!.. Будем свободные люди! Что за беда, что я плачу! Да и я сама, понимаю ли я, отчего льются эти слезы? Ты знаешь, ты слышал мое решение, ты уверен, что оно не изменится, что я согласна на... как ты это сказал?.. на все или ничего... чего же еще? Будем свободны! К чему эти взаимные цепи? Мы теперь одни с тобою, ты меня любишь; я люблю тебя; неужели нам только и дела, что выпытывать друг у друга наши мнения? Посмотри на меня, я не хотела рисоваться перед тобою, я ни единым словом не намекнула о том, что мне, может быть, не так-то легко было попрать супружеские обязанности... а я ведь себя не обманываю, я знаю, что я преступница и что он вправе меня убить. Ну и что же! Будем свободны, говорю я. День наш -- век наш.

Она встала с кресла и посмотрела на Литвинова сверху вниз, чуть улыбаясь и щурясь и обнаженною до локтя рукою отводя от лица длинный локон, на котором блистали две-три капли слез. Богатая кружевная косынка соскользнула со стола и упала на пол, под ноги Ирины. Она презрительно наступила на нее.

-- Или я тебе не нравлюсь сегодня? Подурнела я со вчерашнего дня? Скажи мне, часто видал ты более красивую руку? А эти волосы? Скажи, любишь ты меня?

Она обхватила его обеими руками, прижала его голову к своей груди, гребень ее зазвенел и покатился, и рассыпавшиеся волосы обдали его пахучею и мягкою волной.

XXIV

Литвинов расхаживал по комнате у себя в гостинице, задумчиво потупив голову. Ему предстояло теперь перейти от теории к практике, изыскать средства и пути к побегу, к переселению в неведомые края... Но, странное дело! он ни столько размышлял об этих средствах и путях, как о том, действительно ли, несомненно ли состоялось решение, на котором он так упорно настаивал? Было ли произнесено окончательное, бесповоротное слово? Но ведь Ирина сказала ему при прощании: "Делай, делай, и когда будет готово, предуведомь только". Кончено! В сторону все сомнения... Надо приступить.

И Литвинов приступил -- пока -- к соображениям. Прежде всего деньги. У Литвинова налицо оказалась тысяча триста двадцать восемь гульденов, на французскую монету -- две тысячи восемьсот пятьдесят пять франков, сумма незначительная; но на первые потребности хватит, а там надо тотчас написать отцу, чтобы он выслал елико возможно; продал бы лес, часть земли... Но под каким предлогом?.. Ну, предлог найдется. Ирина говорила, правда, о своих bijoux, но это никак в соображение принимать не следует: это, кто знает, про черный день пригодится. Притом в наличности находился также хороший женевский полухронометр, за который можно получить...

ну, хоть четыреста франков. Литвинов отправился к банкиру и завел обиняком речь о том, что нельзя ли, при случае, занять денег; но банкиры в Бадене народ травленый и осторожный и в ответ на подобные обиняки немедленно принимают вид преклонный и увялый, ни дать ни взять полевой цветок, которому коса надрезала стебель; некоторые же бодро и смело смеются вам в лицо, как бы сочувствуя вашей невинной шутке. Литвинов, к стыду своему, попытал даже счастье свое на рулетке, даже -- о позор! -- поставил талер на тридцатый нумер, соответствовавший числу его лет. Он это сделал в видах увеличения и округления капитала; и он действительно если не увеличил, то округлил этот капитал, спустив излишние двадцать восемь гульденов.

Второй вопрос, тоже немаловажный: это паспорт. Но для женщины паспорт не так обязателен, и есть страны, где его вовсе не требуют. Бельгия, например, Англия; наконец, можно и не русский паспорт достать. Литвинов очень серьезно размышлял обо всем этом: решимость его была сильная, без малейшего колебания, а между тем, против его воли, мимо его воли, что-то несерьезное, почти комическое проступало, просачивалось сквозь все его размышления, точно самое его предприятие было делом шуточным и никто ни с кем никогда не бегивал в действительности, а только в комедиях да романах, да, пожалуй, где-нибудь в провинции, в каком-нибудь чухломском или сызранском уезде, где, по уверению одного путешественника, людей со скуки даже рвет подчас. Пришло тут Литвинову на память, как один из его приятелей, отставной корнет Бацов, увез на ямской тройке с бубенчиками купеческую дочь, напоив предварительно родителей, да и самое невесту, и как потом оказалось, что его же надули и чуть ли не приколотили вдобавок. Литвинов чрезвычайно сердился на самого себя за подобные неуместные воспоминаиия и тут же, вспомнив Татьяну, ее внезапный отъезд, все это горе, и страдание, и стыд, слишком глубоко почувствовал, что дело он затеял нешуточное и как он был прав, когда говорил Ирине, что для самой его чести другого исхода не оставалось... И снова при одном этом имени что-то жгучее мгновенно, с сладостной болью, обвилось и замерло вокруг его сердца.

Конский топот раздался за ним... Он посторонился... Ирина верхом обогнала его; рядом с нею ехал тучный генерал. Она узнала Литвинова, кивнула ему головой и, ударив лошадь по боку хлыстиком, подняла ее в галоп, потом вдруг пустила ее во всю прыть. Темный вуаль ее взвился по ветру...

-- Pas si vite! Nom de Dieu! pas si vite!-- закричал генерал и тоже поскакал за нею

XXV

На другое утро Литвинов только что возвратился домой от банкира, с которым еще раз побеседовал об игривом непостоянстве нашего курса и лучшем способе высылать за границу деньги, как швейцар вручил ему письмо. Он узнал почерк Ирины и, не срывая печати, -- недоброе предчувствие, бог знает почему, проснулись в нем, -- ушел к себе в комнату. Вот что прочел он (письмо было написано по-французски): "Милый мой! я всю ночь думала о твоем предложении... Я не стану с тобой лукавить. Ты был откровенен со мною, и я буду откровенна: я не могу бежать с тобою, я не в силах это сделать. Я чувствую, как я перед тобою виновата; вторая моя вина еще больше первой, -- я презираю себя, свое малодушие, я осыпаю себя упреками, но я не могу себя переменить. Напрасно я доказываю самой себе, что я разрушила твое счастие, что ты теперь,

точно, вправе видеть во мне одну легкомысленную кокетку, что я сама вызвалась, сама дала тебе торжественные обещания... Я ужасаюсь, я чувствую ненависть к себе, но я не могу поступать иначе, не могу, не могу. Я не хочу оправдыватъся, не стану говорить тебе, что я сама была увлечена... все это ничего не значит; но я хочу сказать тебе и повторить, и повторить еще раз: я твоя, твоя навсегда, располагай мною, как хочешь, когда хочешь, безответно и безотчетно, я твоя... Но бежать, все бросить... нет! нет! нет! Я умоляла тебя спасти меня, я сама надеялась все изгладить, сжечь все как в огне... Но, видно, мне нет спасения; видно, яд слишком глубоко проник в меня; видно, нельзя безнаказанно в течение многих лет дышать этим воздухом! Я долго колебалась, писать ли тебе это письмо, мне страшно подумать, какое ты примешь решение, я надеюсь только на любовь твою ко мне. Но я сочла, что было бы бесчестным с моей стороны не сказать тебе правды -- тем более что ты, быть может, уже начал принимать первые меры к исполнению нашего замысла. Ах! он был прекрасен, но несбыточен. О мой друг, считай меня пустою, слабою женщиной, презирай меня, но не покидай меня, не покидай твоей Ирины!.. Оставить этот свет я не в силах, но и жить в нем без тебя не могу. Мы скоро вернемся в Петербург, приезжай туда, живи там, мы найдем тебе занятия, твои прошедшие труды не пропадут, ты найдешь для них полезное применение... Только живи в моей близости, только люби меня, какова я есть, со всеми моими слабостями и пороками, и знай, что ничье сердце никогда не будет так нежно тебе предано, как сердце твоей Ирины. Приходи скорее ко мне, я не буду иметь минуты спокойствия, пока я тебя не увижу.

Твоя, твоя, твоя И. "

Молотом ударила кровь в голову Литвинова, а потом медленно и тяжело опустилась на сердце и так камнем в нем и застыла. Он перечел письмо Ирины и, как в тот раз в Москве, в изнеможении упал на диван и остался неподвижным. Темная бездна внезапно обступила его со всех сторон, и он глядел в эту темноту бессмысленно и отчаянно. Итак, опять, опять обман, или нет, хуже обмана -- ложь и пошлость... И жизнь разбита, все вырвано с корнем, дотла, и то единственное, за которое еще можно было ухватиться -- та последняя опора, -- вдребезги тоже! "Поезжай за нами в Петербург, -- повторял он с горьким внутренним хохотом, -- мы там тебе найдем занятия... " "В столоначальники, что ли, меня произведут? И кто эти мы? Вот когда сказалось ее прошедшее! Вот то тайное, безобразное, которого я не знаю, но которое она пыталась было изгладить и сжечь как бы в огне! Вот тот мир интриг, тайных отношений, историй Бельских, Дольских... И какая будущность, какая прекрасная роль меня ожидает! Жить в ее близости, посещать ее, делить с ней развращенную меланхолию модной дамы, которая и тяготится и скучает светом, а вне его круга существовать не может, быть домашним другом ее и, разумеется, его превосходительства... пока... пока минет каприз и приятель-плебей потеряет свою пикантность и тот же тучный генерал или господин Фиников его заменит -- вот это возможно, и приятно, и, пожалуй, полезно... говорит же она о полезном применении моих талантов! -- а тот умысел несбыточен! несбыточен... " В душе Литвинова поднимались, как мгновенные удары ветра перед грозой, внезапные, бешеные порывы... Каждое выражение в письме Ирины возбуждало его негодование, самые уверения ее в неизменности ее чувства оскорбляли его. "Этого нельзя так оставить, -- воскликнул он наконец, -- я не позволю ей так безжалостно играть моею жизнию... "

Литвинов вскочил, схватил шляпу. Но что было делать? Бежать к ней? Отвечать на ее письмо? Он остановился и опустил руки

Да; что было делать?

Не сам ли он предложил ей тот роковой выбор? Он выпал не так, как ему хотелось... Всякий выбор подвержен этой беде. Она изменила свое решение, правда; она сама, первая, объявила, что бросит все и последует за ним, правда и то; но она и не отрицает своей вины, она прямо называет себя слабою женщиной; она не хотела обмануть его, она сама в себе обманулась... Что на это возразить? По крайней мере, она не притворяется, не лукавит... она откровенна с ним, беспощадно откровенна.

Ничто не заставляло ее тотчас высказываться, ничто не мешало ей успокоивать его обещаниями, оттягивать и оставлять все в неизвестности до самого отъезда... до отъезда с мужем в Италию! Но она жизнь его загубила, она две жизни загубила!.. Мало ли чего нет!

А перед Татьяной виновата не она, виноват он, один он, Литвинов, и не имеет он права стряхивать с себя ту ответственность, которую железным ярмом на него наложила его вина... Все так; но что же теперь оставалось делать?

Он снова бросился на диван, и снова темно, и глухо, и бесследно, с пожирающею быстротой, побежали мгновения...

"А не то послушаться ее? -- мелькнуло в его голове. Она меня любит, она моя, и в самом нашем влечении друг к другу, в этой страсти, которая, после стольких лет, с такой силой пробилась и вырвалась наружу, нет ли чего-то неизбежного, неотразимого, как закон природы? Жить в Петербурге... да разве я первый буду находиться в таком положении? Да и где бы мы приютились с ней.. эх. И он задумался, и образ Ирины в том виде, в каком он навек напечатлелся в его последних воспоминаниях, тихо предстал перед ним...

Но ненадолго... Он опомнился и с новым порывом негодования оттолкнул прочь от себя и те воспоминания, и тот обаятельный образ.

"Ты мне даешь пить из золотой чаши, -- воскликнул он, -- но яд в твоем питье, и грязью осквернены твои белые крылья... Прочь! Оставаться здесь с тобою, после того как я... прогнал, прогнал мою невесту... бесчестное, бесчестное дело!" Он стиснул горестно руки, и другое лицо, с печатью страданья на неподвижных чертах, с безмолвным укором в прощальном взоре, возникло из глубины... И долго так еще мучился Литвинов; долго, как трудный больной, металась из стороны в сторону его истерзанная мысль... Он утих наконец; он наконец решился. С самой первой минуты он предчувствовал это решение... оно явилось ему сначала как отдаленная, едва заметная точка среди вихря и мрака внутренней борьбы; потом оно стало надвигаться все ближе и ближе и кончило тем, что врезалось холодным лезвием в его сердце.

Литвинов снова вытащил свой чемодан из угла, снова уложил, не торопясь и даже с какою-то тупою заботливостью, все свои вещи, позвонил кельнера, расплатился и отправил к Ирине записку на русском языке следующего содержания:

"Не знаю, больше ли вы теперь передо мной виноваты, чем тогда; но знаю, что теперешний удар гораздо сильнее... Это конец. Вы мне говорите: "Я не могу"; и я вам повторяю тоже: "Я не могу... того, что вы хотите, Не могу и не хочу". Не отвечайте мне. Вы не в состоянии дать мне единственный ответ, который я бы принял. Я уезжаю завтра рано с первым поездом. Прощайте, будьте счастливы... Мы, вероятно, больше не увидимся".

Литвинов до самой ночи не выходил из своей комнаты; ждал ли он чего, бог ведает! Около семи часов вечера дама в черной мантилье, с вуалем на лице, два раза подходила к крыльцу его

гостиницы. Отойдя немного в сторону и поглядев куда-то вдаль, она вдруг сделала решительное движение рукой и в третий раз направилась к крыльцу...

-- Куда вы, Ирина Павловна? -- раздался сзади ее чей-то напряженный голос.

Она обернулась с судорожною быстротой... Потугин бежал к ней.

Она остановилась, подумала и так и бросилась к нему, взяла его под руку и увлекла в сторону.

-- Уведите, уведите меня, -- твердила она, задыхаясь.

-- Что с вами, Ирина Павловна? -- пробормотал он, изумленный.

-- Уведите меня, -- повторила она с удвоенною силой, -- если вы не хотите, чтоб я навсегда осталась... там!

Потугин наклонил покорно голову, и оба поспешно удалились.

На следующее утро, рано, Литвинов уже совсем собрался в дорогу -- в комнату к нему вошел... тот же Потугин.

Он молча приблизился к нему и молча пожал ему руку. Литвинов тоже ничего не сказал. У обоих были длинные лица, и оба напрасно старались улыбнуться.

-- Я пришел пожелать вам счастливого пути, промолвил наконец Потугин.

-- А почему вы знаете, что я уезжаю сегодня? -- спросил Литвинов.

Потугин поглядел вокруг себя по полу...

-- Мне это стало известным... как видите. Наш последний разговор получил под конец такое странное направление... Я не хотел расстаться с вами, не выразив вам моего искреннего сочувствия.

-- Вы сочувствуете мне теперь... когда я уезжаю?

Потугин печально посмотрел на Литвинова.

-- Эх, Григорий Михайлыч, Григорий Михайлыч, начал он с коротким вздохом, -- не до того нам теперь, не до тонкостей и препираний. Вы вот, сколько я мог заметить, довольно равнодушны к родной словесности и потому, быть может, не имеете понятия о Ваське Буслаеве?

-- О ком?

-- О Ваське Буслаеве, новогородском удальце... в сборнике Кирши Данилова.

-- Какой Буслаев? -- промолвил Литвинов, несколько озадаченный таким неожиданным оборотом речи. Я не знаю.

-- Ну, все равно. Так вот я на что хотел обратить ваше внимание. Васька Буслаев, после того как увлек своих новгородцев на богомолье в Ерусалим и там, к ужасу их, выкупался нагим телом в святой реке Иордане, ибо не верил "ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай", -- этот логический Васька Буслаев взлезает на гору Фавор, а на вершине той горы лежит большой камень, через который всякого роду люди напрасно пытались перескочить... Васька хочет тоже свое счастье изведать. И

попадается ему на дороге мертвая голова, человечья кость; он пихает ее ногой. Ну и говорит ему голова: "Что ты пихаешься? Умел я жить, умею и в пыли валяться -- и тебе то же будет". И точно: Васька прыгает через камень, и совсем было перескочил, да каблуком задел и голову себе сломил. И тут я кстати должен заметить, что друзьям моим славянофилам, великим охотникам пихать ногою всякие мертвые головы да гнилые народы, не худо бы призадуматься над этою былиной.

-- Да к чему все это? -- перебил наконец с нетерпеньем Литвинов. Мне пора, извините...

-- А к тому, -- отвечал Потугин, и глаза его засветились таким дружелюбным чувством, какого Литвинов даже не ожидал от него, -- к тому, что вот вы не отталкиваете мертвой человечьей головы и вам, быть может, за вашу доброту и удастся перескочить через роковой камень. Не стану я вас больше удерживать, только вы позвольте обнять вас на прощанье.

-- Я и пытаться не буду прыгать, -- промолвил Литвинов, троекратно целуясь с Потугиным, и к скорбным ощущениям, переполнявшим его душу, примешалось на миг сожаление об одиноком горемыке. Но надо ехать, ехать... -- Он заметался по комнате.

-- Хотите, я вам понесу что-нибудь? -- предложил свои услуги Потугин.

-- Нет, благодарствуйте, не беспокойтесь, я сам... Он надел шапку, взял в руки мешок. Итак, вы говорите, -- спросил он, уже стоя на пороге, -- вы видели ее?

-- Да, видел.

-- Ну... и что же она?

Потугин помолчал.

-- Она вас ждала вчера... и сегодня ждать вас будет.

-- А! Ну так скажите ей... Нет, не нужно, ничего не ну нужно. Прощайте... Прощайте!

-- Прощайте, Григорий Михайлыч... Дайте мне еще вам слово сказать. Вы еще успеете меня выслушать: до отхода железной дороги осталось больше получаса. Вы возвращаетесь в Россию... Вы будете там... со временем... действовать... Позвольте же старому болтуну -- ибо я, увы! болтун, и больше ничего -- дать вам напутственный совет. Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя: служите ли вы цивилизации -- в точном и строгом смысле слова, -- проводите ли одну из ее идей, имеет ли вашим труд тот педагогический, европейский характер, который единственно полезен и плодотворен в наше время, у нас? Если так -- идите смело вперед вы на хорошем пути, и дело ваше -- благое! Слава богу! Вы не одни теперь. Вы не будете "сеятелем пустынным": завелись уже и у нас труженики... пионеры... Но вам теперь не до того. Прощайте, не забывайте меня!

Литвинов бегом спустился с лестницы, бросился в карету и доехал до железной дороги, не оглянувшись ни разу на город, где осталось столько его собственной жизни... Он как будто отдался волне: она подхватила его, понесла, и он твердо решился не противиться ее влечению... От всякого другого изъявления воли он отказался.

Он уже садился в вагон.

-- Григорий Михайлович... Григорий... -- послышался за его спиной умоляющий шепот.

Он вздрогнул... Неужели Ирина? Точно: она. Закутанная в шаль своей горничной, с дорожною шляпою на неубранных волосах, она стоит на платформе и глядит на него померкшими глазами. "Вернись, вернись, я пришла за тобой", говорят эти глаза. И чего, чего не сулят они! Она не движется, не в силах прибавить слово; все в ней, самый беспорядок ее одежды, все как бы просит пощады...

Литвинов едва устоял на ногах, едва не бросился к ней... Но та волна, которой он отдался, взяла свое... Он вскочил в вагон и, обернувшись, указал Ирине на место возле себя. Она поняла его. Время еще не ушло. Один только шаг, одно движение, и умчались бы в неведомую даль две навсегда соединенные жизни... Пока она колебалась, раздался громкий свист, и поезд двинулся.

Литвинов откинулся назад, а Ирина подошла, шатаясь, к скамейке и упала на нее, к великому изумлению заштатного дипломата, случайно забредшего на железную дорогу. Он мало был знаком с Ириной, но очень ею интересовался и, увидав, что она лежит, как в забытьи, подумал, что с ней случилась une attaque de nerfs, а потому счел своим долгом, долгом d'un galant chevalier, прийти ей на помощь. Но изумление его приняло гораздо большие размеры, когда при первом слове, к ней обращенном, она вдруг поднялась, оттолкнула предложенную руку и, выбежав на улицу, чрез несколько мгновений исчезла в молочной мгле тумана, столь свойственного шварцвальдскому климату в первые осенние дни.

XXVI

Нам случилось однажды войти в избу крестьянки, только что потерявшей единственного, горячо любимого сына, и, к немалому нашему удивлению, найти ее совершенно спокойною, чуть не веселою. "Не замайте, сказал ее муж, от которого, вероятно, не скрылось это удивление, -- она теперь закостенела". И Литвинов так же "закостенел". Такое же спокойствие нашло на него в первые часы его путешествия. Совершенно уничтоженный и безнадежно несчастный, он, однако, отдыхал, отдыхал после тревог и терзаний последней недели, после всех этих ударов, раз за разом обрушившихся на его голову. Они тем сильнее его потрясли, чем менее он был создан для подобных бурь. Он уж точно ни на что не надеялся теперь и старался не вспоминать -- пуще всего не вспоминать; он ехал в Россию... -- надо же было куда-нибудь деваться! -- но уже никаких, лично до собственной особы касающихся, предположений не делал. Он не узнавал себя; он не понимал своих поступков, точно он свое настоящее "я" утратил, да и вообще он в этом "я" мало принимал участия. Иногда ему сдавалось, что он собственный труп везет, и лишь пробегавшие изредка горькие судороги неизлечимой душевной боли напоминали ему, что он еще носится с жизнью. По временам ему казалось непостижимым, каким образом может мужчина -- мужчина! -- допустить такое влияние на себя женщины, любви... "Постыдная слабость!" -- шептал он и встряхивал шинелью и плотнее усаживался: вот, дескать, старое кончено, начнем новое... Минута -- и он только улыбался горько и дивился самому себе. Он принялся глядеть в окно. День стоял серый и сырой; дождя не было, но туман еще держался и низкие облака заволокли все небо. Ветер дул навстречу поезду; беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более темными клубами дыма, мчались бесконечною вереницей мимо окна, под которым сидел Литвинов. Он стал следить за этим паром, за этим дымом. Беспрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, крутясь и цепляясь за траву, за кусты, как бы кривляясь, вытягиваясь и тая, неслись клубы за клубами: они непрестанно менялись и оставались те же... Однообразная, торопливая, скучная игра! Иногда

ветер менялся, дорога уклонялась -- вся масса вдруг исчезала и тотчас же виднелась в противоположном окне; потом опять перебрасывался громадный хвост и опять застилал Литвинову вид широкой прирейнской равнины. Он глядел, глядел, и странное напало на него размышление... Он сидел один в вагоне: никто не мешал ему. "Дым, дым", -- повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь -- все людское, особенно все русское. Все дым и пар, думал он; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то -- и все исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул -- и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и -- ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы.. Дым, шептал он, дым; вспомнились горячие споры, толки и крики у Губарева, у других, высоко-и низкопоставленных, передовых и отсталых, старых и молодых людей... Дым, повторял он, дым и пар. Вспомнился, наконец, и знаменитый пикник, вспомнились и другие суждения и речи других государственных людей -- и даже все то, что проповедовал Потугин... дым, дым, и больше ничего. А собственные стремления, и чувства, и попытки, и мечтания? Он только рукой махнул.

А между тем поезд бежал да бежал; уже давно и Раштадт, и Карлсруэ, и Брухзаль остались назади; горы с правой стороны дороги сперва отклонились, ушли вдаль, потом надвинулись опять, но уже не столь высокие и реже покрытые лесом... Поезд круто повернул в сторону... вот и Гейдельберг. Вагоны подкатились под навес станции; раздались крики разносчиков, продающих всякие, даже русские, журналы; путешественники завозились на своих местах, вышли на платформу; но Литвинов не покидал своего уголка и продолжал сидеть, потупив голову. Вдруг кто-то назвал его по имени; он поднял глаза: рожа Биндасова просунулась в окно, а за ним -- или это ему только померещилось? -- нет, точно, все баденские, знакомые лица: вот Суханчикова, вот Ворошилов, вот и Бамбаев; все они подвигаются к нему, а Биндасов орет:

-- А где же Пищалкин? Мы его ждали; но все равно; вылезай, сосюля, мы все к Губареву.

-- Да, братец, да, Губарев нас ждет, -- подтвердил, выдвигаясь, Бамбаев, вылезай. Литвинов рассердился бы, если б не то мертвое бремя, которое лежало у него на сердце. Он глянул на Биндасова и отвернулся молча.

-- Говорят вам, здесь Губарев! -- воскликнула Суханчикова, и глаза ее чуть не выскочили.

Литвинов не пошевелился.

-- Да послушай, Литвинов, -- заговорил наконец Бамбаев, -- здесь не один только Губарев, здесь целая фаланга отличнейших, умнейших молодых людей, русских -- и все занимаются естественными науками, все с такими благороднейшими убеждениями! Помилуй, ты для них хоть останься. Здесь есть, например, некто... эх! фамилию забыл! но это просто гений!

-- Да бросьте его, бросьте его, Ростислав Ардалионыч, -- вмешалась Суханчикова, -- бросьте! Вы видите, что он за человек; и весь его род такой. Тетка у него есть; сначала мне показалась путною, а третьего дня еду я с ней сюда -- она перед тем только что приехала в Баден, и глядь! уж назад летит, ну-с, еду я с ней, стала ее расспрашивать... Поверите ли, слова от гордячки не добилась. Аристократка противная!

Бедная Капитолина Марковна -- аристократка! Ожидала ли она подобного посрамления?!

А Литвинов все молчал, и отвернулся, и фуражку на глаза надвинул. Поезд тронулся наконец.

-- Да скажи хоть что-нибудь на прощанье, каменный ты человек! -- закричал Бамбаев. -- Этак ведь нельзя!

-- Дрянь! колпак! -- завопил Биндасов. Вагоны катились все шибче и шибче, и он мог безнаказанно ругаться. -- Скряга! слизняк! каплюжник!!

Изобрел ли Биндасов на месте это последнее наименование, перешло ли оно к нему из других рук, только оно, по-видимому, очень понравилось двум тут же стоявшим благороднейшим молодым людям, изучавшим естественные науки, ибо несколько дней спустя оно уже появилось в русском периодическом листке, издававшемся в то время в Гейдельберге под заглавием: "A toyt venant je crache!" -- или: "Бог не выдаст, свинья не съест".

А Литвинов опять затвердил свое прежнее слово: дым, дым, дым! Вот, думал он, в Гейдельберге теперь более сотни русских студентов; все учатся химии, физике, физиологии -- ни о чем другом и слышать не хотят... А пройдет пять-шесть лет, и пятнадцати человек на курсах не будет у тех же знаменитых профессоров... ветер переменится, дым хлынет в другую сторону... дым... дым... дым!

К ночи он проехал мимо Касселя. Вместе с темнотой тоска несносная коршуном на него спустилась, и он заплакал, забившись в угол вагона. Долго текли его слезы, не облегчая сердца, но как-то едко и горестно терзая его; а в то же время в одной из гостиниц Касселя, на постели, в жару горячки, лежала Татьяна; Капитолина Марковна сидела возле нее.

-- Таня, -- говорила она, -- ради бога, позволь мне послать телеграмму к Григорию Михайловичу; позволь, Таня.

-- Нет, тетя, -- отвечала она, -- не надо, не пугайся. Дай мне воды; это скоро пройдет.

И действительно, неделю спустя здоровье ее поправилось, и обе подруги продолжали свое путешествие.

XXVII

Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, Литвинов вернулся в свое поместье. Он испугался, увидав отца: до того тот похилел и опустился. Старик обрадовался сыну, насколько может радоваться человек, уже покончивший с жизнью; тотчас сдал ему все, сильно расстроенные, дела и, проскрипев еще несколько недель, сошел с земного поприща. Литвинов остался один в своем ветхом господском флигельке и с тяжелым сердцем, без надежды, без рвения и без денег -- начал хозяйничать. Хозяйничанье в России невеселое, слишком многим известное дело; мы не станем распространяться о том, как солоно оно показалось Литвинову. О преобразованиях и нововведениях, разумеется, не могло быть и речи; применение приобретенных за границею сведений отодвинулось на неопределенное время; нужда заставляла перебиваться со дня на день, соглашаться на всякие уступки -- и вещественные и нравственные. Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумелый сталкивался с недобросовестным; весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная, и только одно великое слово "свобода" носилось как божий дух над водами. Терпение требовалось прежде всего, и терпение не страдательное, а деятельное, настойчивое, не без сноровки, не без хитрости

подчас... Литвинову, при душевном его настроении, приходилось вдвойне тяжело. Охоты жить в нем оставалось мало... Откуда же было взяться охоте хлопотать и работать?

Но минул год, за ним минул другой, начинался третий. Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила в кровь и плоть: выступил росток из брошенного семени, и уже не растоптать его врагам -- ни явным, ни тайным. Сам Литвинов хотя кончил тем, что отдал большую часть земли крестьянам исполу, т. е. обратился к убогому, первобытному хозяйству, однако кой в чем успел: возобновил фабрику, завел крошечную ферму с пятью вольнонаемными работниками, -- а перебывало их у него целых сорок, -- расплатился с главными частными долгами... И дух в нем окреп: он снова стал походить на прежнего Литвинова. Правда, грустное, глубоко затаенное чувство не покидало его никогда, и затих он не по летам, замкнулся в свой тесный кружок, прекратил все прежние сношения... Но исчезло мертвенное равнодушие, и среди живых он снова двигался и действовал, как живой. Исчезли также и последние следы овладевшего им очарования: как сквозь сон являлось ему все, что произошло в Бадене... А Ирина?.. И она побледнела и скрылась тоже, и только смутно чуялось Литвинову что-то опасное под туманом, постепенно окутавшим ее образ. О Татьяне изредка доходили вести; он знал, что она вместе с своею теткой поселилась в своем именьице, верстах в двухстах от него, живет тихо, мало выезжает и почти не принимает гостей, -- а впрочем, покойна и здорова. Вот однажды в прекрасный майский день сидел он у себя в кабинете и безучастно перелистывал последний нумер петербургского журнала; слуга вошел к нему и доложил о приезде старика-дяди. Дядя этот доводился двоюродным братом Капитолине Марковне и недавно посетил ее. Он купил имение по соседству Литвинова и пробирался туда. Целые сутки погостил он у своего племянника и много рассказывал о житье-бытье Татьяны. На другой день после его отъезда Литвинов отправил к ней письмо, первое после их разлуки. Он просил позволения возобновить хотя письменное знакомство и также желал знать, навсегда ли он должен покинуть мысль когда-нибудь с ней увидеться? Не без волнения ожидал он ответа... ответ пришел, наконец. Татьяна дружелюбно откликнулась на его запрос. "Если вам вздумается нас посетить, -- так кончала она, -- милости просим, приезжайте: говорят, даже больным легче вместе, чем порознь". Капитолина Марковна присоединяла свой поклон. Как дитя, обрадовался Литвинов; уже давно и ни от чего так весело не билось его сердце. И легко ему стало вдруг, и светло... Так точно, когда солнце встает и разгоняет темноту ночи, легкий ветерок бежит вместе с солнечными лучами по лицу воскреснувшей земли. Весь этот день Литвинов все посмеивался, даже когда обходил свое хозяйство и отдавал приказания. Он тотчас стал снаряжаться в дорогу, а две недели спустя он уже ехал к Татьяне.

XXVIII

Ехал он довольно медленно, проселками, без особенных приключений: раз только шина лопнула на заднем колесе; кузнец ее сваривал-сваривал, обругал и ее и себя, да так и бросил; к счастью, оказалось, что и с лопнувшею шиной можно у нас прекрасно путешествовать, особенно по "мякенькому", то есть по грязи. Зато с Литвиновым произошли две-три довольно любопытные встречи. На одной станции он застал мировой съезд и в челе его Пищалкина, который произвел на него впечатление Солона или Соломона: такою возвышенною мудростью дышали его речи, с таким безграничным уважением относились к нему и помещики и крестьяне... И по наружности Пищалкин стал походить на древнего мудреца: волосы его на темени вылезли, а пополневшее лицо совершенно застыло в какое-то величавое желе уже ничем не обузданной добродетели. Он

поздравил Литвинова с прибытием "в мой -- если смею употребить такое амбиционное выражение -- собственный уезд", а впрочем, тут же так и замер в припадке благонамеренных ощущений. Одно известие он, однако, успел сообщить, а именно о Ворошилове. Витязь с золотой доски снова поступил на военную службу и уже успел прочесть лекцию офицерам своего полка "о буддизме" или "динамизме", что-то в этом роде... Пищалкин хорошенько не помнил. На другой станции Литвинову долго не закладывали лошадей; дело было на утренней зорьке, и он задремал, сидя в своей коляске. Голос, показавшийся ему знакомым, разбудил его: он раскрыл глаза...

Господи! да не г-н ли Губарев стоит в серой куртке и отвислых спальных панталонах на крыльце почтовой избы и ругается?.. Нет, это не г-н Губарев... Но какое поразительное сходство!.. Только у этого барина рот еще шире и зубастее, и взор понурых глаз еще свирепее, и нос крупнее.. и борода гуще, и весь облик еще грузнее и противнее.

-- Па-адлецы, па-адлецы! -- твердил он медленно и злобно, широко разевая свой волчий рот. Мужичье поганое... Вот она... хваленая свобода-то... и лошадей не достанешь... па-адлецы!

-- Па-адлецы, па-адлецы! -- послышался тут другой голос за дверями, и на крыльце предстал -- тоже в серой куртке и отвислых спальных панталонах, предстал на этот раз, действительно, несомненно, сам настоящий господин Губарев, Степан Николаевич Губарев. Мужичье поганое! -- продолжал он в подражание брату (оказалось, что первый господин был его старший брат, "тот дантист" прежней школы, который заправлял его имением). -- Бить их надо, вот что, по мордам бить; вот им какую свободу -- в зубы... Толкуют... волостной голова!.. Я б их!.. Да где же этот мусье Ростон?.. Чего же он смотрит?.. Это его дело, дармоеда этакого... до беспокойства не доводить...

-- А я ж вам сказывал, братец, -- заговорил Губарев старший, -- что он ни на что не годен, именно дармоед! Только вы вот по старой памяти... Мусье Ростон, мусье Ростон!.. Где ты пропадаешь?

-- Ростон! Ростон! -- закричал младший, великий Губарев. -- Да покличьте же его хорошенько, братец Доримедонт Николаич.

-- Я и то, братец Степан Николаич, его кличу. Мусье Ростон!

-- Вот я, вот я, вот я! -- послышался торопливый голос, и из-за угла избы выскочил -- Бамбаев.

Литвинов так и ахнул. На злосчастном энтузиасте плачевно болталась обтерханная венгерка с прорехами на рукавах; черты его не то что переменились, а скривились и сдвинулись, перетревоженные глазки выражали подобострастный испуг и голодную подчиненность; но крашеные усы по-прежнему торчали над пухлыми губами. Братья Губаревы немедленно и дружно принялись распекать его с вышины крыльца; он остановился перед ними внизу, в грязи, и, униженно сгорбив спину, пытался умилостивить робкою улыбочкой, и картуз мял в красных пальцах, и ногами семенил, и бормотал, что лошади, мол, сейчас явятся... Но братья не унимались, пока младший не вскинул наконец глазами на Литвинова. Узнал ли он его, стыдно ли ему стало чужого человека, только он вдруг повернулся на пятках, по-медвежьи, и, закусив бороду, заковылял в станционную избу; братец тотчас умолк и, тоже повернувшись по-медвежьи, отправился за ним вслед. Великий Губарев, видно, и на родине не утратил своего влияния.

Бамбаев побрел было за братьями... Литвинов кликнул его по имени. Он оглянулся, воззрелся и, узнав Литвинова, так и ринулся к нему с протянутыми руками; но, добежав до коляски, ухватился за дверцы, припал к ним грудью и зарыдал в три ручья.

-- Полно, полно же, Бамбаев, -- твердил Литвинов, наклонясь над ним и трогая его за плечо.

Но он продолжал рыдать.

-- Вот... вот... вот до чего... -- бормотал он, всхлипывая.

-- Бамбаев! -- загремели братья в избе. Бамбаев приподнял голову и поспешно утер слезы.

-- Здравствуй, душа моя, -- прошептал он, здравствуй и прощай!.. Слышишь, зовут.

-- Да какими судьбами ты здесь? -- спросил Литвинов, -- и что все это значит? Я думал, они француза зовут...

-- Я у них... домовым управляющим, дворецким, отвечал Бамбаев и ткнул пальцем в направлении избы. А во французы я попал так, для шутки. Что, брат, делать! Есть ведь нечего, последнего гроша лишился, так поневоле в петлю полезешь. Не до амбиции.

-- Да давно ли он в России? и как же он с прежними товарищами разделался?

-- Э! брат! Это теперь все побоку... Погода, вишь, переменилась... Суханчикову, Матрену Кузьминишну, просто в шею прогнал. Та с горя в Португалию уехала.

-- Как в Португалию? Что за вздор?

-- Да, брат, в Португалию, с двумя матреновцами.

-- С кем?

-- С матреновцами: люди ее партии так прозываются.

-- У Матрены Кузьминишны есть партия? И многочисленна она?

-- Да вот именно эти два человека. А он с полгода скоро будет как сюда воротился. Других под сюркуп взяли, а ему ничего. В деревне с братцем живет, и послушал бы ты теперь...

-- Бамбаев!

-- Сейчас, Степан Николаич, сейчас. А ты, голубчик, процветаешь, наслаждаешься! Ну и слава богу! Куда это тебя несет теперь?.. Вот не думал, не гадал... Помнишь Баден? Эх, было житье! Кстати, Биндасова тоже ты помнишь? Представь, умер. В акцизные попал да подрался в трактире: ему кием голову и проломили. Да, да, тяжелые подошли времена! А все же я скажу: Русь... экая эта Русь! Посмотри хоть на эту пару гусей: ведь в целой Европе ничего нет подобного. Настоящие арзамасские!

И, заплатив эту последнюю дань неистребимой потребности восторгаться, Бамбаев побежал в станционную избу, где опять и не без некоторых загвоздок произносилось его имя.

К концу того же дня Литвинов подъезжал к Татьяниной деревне. Домик, где жила бывшая его невеста, стоял на холме, над небольшой речкой, посреди недавно разведенного сада. Домик тоже был новенький, только что построенный, и далеко виднелся через речку и поле. Литвинову он открылся версты за две с своим острым мезонином и рядом окошек, ярко рдевших на вечернем солнце. Уже с последней станции он чувствовал тайную тревогу; но тут просто смятение овладело им, смятение радостное, не без некоторого страха. "Как меня встретят, -- думал он, -- как я

предстану? эх. Чтобы чем-нибудь развлечься, он заговорил с ямщиком, степенным мужиком с седою бородой, который, однако, взял с него за тридцать верст, тогда как и двадцати пяти не было. Он спросил его: знает ли он Шестовых помещиц?

-- Шестовых-то? Как не знать! Барыни добрые, что толковать! Нашего брата тоже лечат. Верно говорю. Лекарки! К ним со всего округа ходят. Право. Так и ползут. Как кто, например, заболел, или порезался, или что, сей час к ним, и они сей час примочку там, порошки или флястырь -- и ничего, помогает. А благодарность представлять не моги; мы, говорят, на это не согласны; мы не за деньги. Школу тоже завели... Ну, да это статья пустая!

Пока ямщик рассказывал, Литвинов не спускал глаз с домика... Вот женщина в белом вышла на балкон, постояла, постояла и скрылась... "Уж не она ли?" Сердце так и подпрыгнуло в нем. "Скорей! скорей!" -- крикнул он на ямщика: тот погнал лошадей. Еще несколько мгновений... и коляска вкатилась в раскрытые ворота... А на крыльце уже стояла Капитолина Марковна и, вся вне себя, хлопая в ладоши, кричала: "Я узнала, я первая узнала! Это он! это он!.. Я узнала!"

Литвинов выскочил из коляски, не дав подбежавшему казачку открыть дверцы, и, торопливо обняв Капитолину Марковну, бросился в дом, через переднюю, в залу... Перед ним, вся застыдившись, стояла Татьяна. Она взглянула на него своими добрыми, ласковыми глазами (она несколько похудела, но это шло к ней) и подала ему руку. Но он не взял руки, он упал перед ней на колени. Она никак этого не ожидала и не знала, что сказать, что делать... Слезы выступили у ней на глаза. Испугалась она, а все лицо расцветало радостью... "Григорий Михайлыч, что это, Григорий Михайлыч?" -- говорила она... а он продолжал лобызать край ее одежды... и с умилением вспомнилось ему, как он в Бадене так же лежал перед ней на коленях... Но тогда -- и теперь!

-- Таня, -- твердил он, -- Таня, ты меня простила, Таня?

-- Тетя, тетя, что ж это? -- обратилась Татьяна к вошедшей Капитолине Марковне.

-- Не мешай, не мешай ему, Таня, -- отвечала добрая старушка, -- видишь: повинную голову принес.

Однако пора кончить; да и прибавлять нечего; читатель догадается и сам... Но что ж Ирина?

Она все так же прелестна, несмотря на свои тридцать лет; молодые люди влюбляются в нее без счета и влюблялись бы еще более, если б... если б...

Читатель, не угодно ли вам перенестись с нами на несколько мгновений в Петербург, в одно из первых тамошних зданий? Смотрите: перед вами просторный покой, убранный не скажем богато -- это выражение слишком низменно, -- но важно, представительно, внушительно. Чувствуете ли вы некий трепет подобострастия? Знайте же: вы вступили в храм, в храм, посвященный высшему приличию, любвеобильной добродетели, словом: неземному. Какая-то тайная, действительная тайная тишина вас объемлет. Бархатные портьерки у дверей, бархатные занавески у окон, пухлый, рыхлый ковер на полу, все как бы предназначено и приспособлено к укрощению, к смягчению всяких грубых звуков и сильных ощущений. Тщательно завешанные лампы внушают степенные чувства; благопристойный запах разлит в спертом воздухе, самый самовар на столе шипит сдержанно и скромно. Хозяйка дома, особа важная в петербургском мире, говорит чуть слышно;

она всегда говорит так, как будто в комнате находится трудный, почти умирающий больной; другие дамы, в подражание ей, едва шепчут; а сестра ее, разливающая чай, уже совсем беззвучно шевелит губами, так что сидящий перед ней молодой человек, случайно попавший в храм приличия, даже недоумевает, чего она от него хочет? а она в шестой раз шелестит ему: "Voulez-vous une tasse de the"? По углам виднеются молодые благообразные мужчины: тихое искательство светится в их взорах; безмятежно тихо, хотя и вкрадчиво, выражение их лиц; множество знаков отличия тихо мерцает на их грудях. Беседа ведется тоже тихая; касается она предметов духовных и патриотических, "Таинственной капли" Ф. Н. Глинки, миссий на Востоке, монастырей и братчиков в Белоруссии. Изредка, глухо выступая по мягкому ковру, проходят ливрейные лакеи; громадные их икры, облеченные в тесные шелковые чулки, безмолвно вздрагивают при каждом шаге; почтительное трепетание дюжих мышц только усугубляет общее впечатление благолепия, благонамеренности, благоговения... Это храм! это храм!

-- Видели вы сегодня госпожу Ратмирову? -- коротко спрашивает одна особа.

-- Я встретила ее сегодня у Lise, -- отвечает эоловою арфой хозяйка, -мне жаль ее... У ней ум озлобленный... elle n'a pas la foi.

-- Да, да, -- повторяет особа... -- это, помнится, Петр Иваныч про нее сказал, и очень верно сказал, qu'elle a... qu'ella a l' озлобленный ум.

-- Elle n'a pas la foi, -- испаряется, как дым кадильный, голос хозяйки. C'est une ame egaree. У ней озлобленный ум.

-- У ней озлобленный ум, -- повторяет одними губами сестра.

И вот отчего молодые люди не все сплошь влюбляются в Ирину... Они ее боятся... они боятся ее "озлобленного ума". Такая составилась о ней ходячая фраза; в этой фразе, как во всякой фразе, есть доля истины. И не одни молодые люди ее боятся; ее боятся и взрослые, и высокопоставленные лица, и даже особы. Никто не умеет так верно и тонко подметить смешную или мелкую сторону характера, никому не дано так безжалостно заклеймить ее незабываемым словом... И тем больнее жжется это слово, что исходит оно из благоухающих, прекрасных уст... Трудно сказать, что происходит в этой душе: но в толпе ее обожателей молва ни за кем не признает названия избранника.

Муж Ирины быстро подвигается на том пути, который у французов называется путем почестей. Тучный генерал обскакивает его; снисходительный остается сзади. И в том же городе, где проживает Ирина, проживает и наш приятель, Созонт Потугин: он редко с ней видится, и нет для нее особенной надобности поддерживать с ним связь... Та девочка, которую поручили его попечениям, недавно умерла.

1867

Глеб Успенский

Справочный материал

Глеб Иванович Успенский — выдающийся русский прозаик-реалист, автор очерков, рассказов и повестей.

Успенский родился в Туле 13 октября 1843 года в семье провинциального чиновника. Учился в тульской и черниговской гимназиях. В 1862 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, затем перевелся в Московский, но в следующем году оставил учебу из-за недостатка средств в связи со смертью отца.

Поступление в университет совпало с началом литературной деятельности юноши. Впечатлительный, отзывчивый характер, личные переживания и жизненные коллизии наложили свой отпечаток на первые произведения. Вскоре после того, как в журнале «Зритель» был напечатан его рассказ «Старьевщик», Успенский становится сотрудником «Северного сияния», где составляет тексты к литографиям картин, работает также в «Русском слове» и некрасовском «Современнике». Тема городской бедноты и идейных исканий интеллигенции нашла отражение в сериях очерков Успенского «Нравы Растерянной улицы», «Разорение». С 1868 года писатель переходит в журнал «Отечественные записки», где и помещает большую часть своих произведений. В это время Глеб Успенский становится одним из видных авторов-демократов.

Писатель выезжает за границу, сближается с представителями «Народной воли», находится под негласным надзором полиции. После возвращения Глеб Иванович служит в управлении Сызрано-Вяземской железной дороги, в качестве корреспондента посещает Сербию, воюющую в то время с Турцией. Впечатления от поездок за рубеж и окружающей действительности ярко описываются прозаиком в цикле очерков и рассказов «Новые времена, новые заботы». Для более близкого знакомства с жизнью русского крестьянства Успенский живет в деревне Сябреницы Новгородской губернии, в Сколково Самарской губернии. Основной темой его произведений становится правдивое изображение деревни. О разложении крестьянской общины, росте кулачества повествуется в циклах «Власть земли», «Из деревенского дневника», «Кой-про что». В 1879 году Успенский перебирается в Петербург. Здесь он много работает, выпуская циклы о духовных исканиях русской интеллигенции «Без определенных занятий», «Волей-неволей», рассказ об искусстве «Выпрямила». Снова путешествует, на это раз в Сибирь и на Кавказ. Последние произведения автора «Живые цифры» и «Поездки к переселенцам» были посвящены жизни народа.

С 1889 года у писателя начинается нервное расстройство, перешедшее в прогрессивный паралич. Через три года Глеба Ивановича поместили в больницу для душевнобольных в Новгороде, где он находился на протяжении почти десяти лет. 24 марта 1902 года в возрасте пятидесяти восьми лет Успенский скончался от паралича сердца. Писатель похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Будка [50]

(Очерк)

I

На углу двух весьма глухих и бедных переулков уездного города стояла будка; физиономия ее походила на те беседки с колоннами и куполом, которые встречаются на лубочных изображениях иностранных вилл, причем обыкновенно впереди виллы, в воде, плавают два лебедя друг против

[50] Текст печатается по изд.: Успенский Г. И. Нравы Растеряевой улицы; Рассказы. - М.: Худож. лит., 1984. - 302с. (Классики и современники. Русская классич. лит-ра)

друга, сзади видны деревья, а по дорожкам прогуливаются господа в шляпах набекрень, в черных фраках, дети с обручами и дамы с зонтиками на плече; походила она также на те храмы муз, которые обыкновенно изображают на занавесях провинциальных театров; такому сходству весьма способствовала старинная архитектура будки; она действительно была с колоннами и куполом, а каменные ободранные стены ее были круглы; но некоторые, по-видимому, весьма ничтожные вещи, как, например, измазанная дверь с клоками истерзанной рогожи и войлока, приземистая черная труба, венчавшая вершину купола, и в особенности жестяная алебарда, видневшаяся всегда у колонн, весьма красноречиво доказывали наблюдателю, что видимое им здание не есть храм муз, но есть кутузка или сибирка; тем более что громадные калоши будочника Мымрецова, набитые для тепла соломой и постоянно торчавшие перед будкой на улице, - ни в каком случае не могли напоминать лебедей, плавающих перед иностранною виллой.

На тоненьких почерневших колонках будки всегда трепетали по ветру какие-то писаные и печатные лоскутки, на которых значилось, что такого-то числа военные и гражданские чиновники приглашаются пожаловать в парадной форме... Что того же числа в мещанской управе будет происходить торг и переторжка на имущество мещанки Степаниды, состоящее из утюга и кровати, оцененных в тридцать копеек... Что в зале дворянского собрания имеет быть бал, почему благоволят надеть белые жилеты те, кои и т. д. Но страна, где стояла будка, не имела ни парадной формы, ни тридцати копеек, чтобы овладеть обольститительным имуществом Степаниды, ни, наконец, белых жилетов; и поэтому-то пропаганда будочника Мымрецова по исчисленным вопросам была совершенно ничтожна; закутавшись в казенную шубу, он, правда, постоянно торчал около той или другой колонки и, по-видимому, сторожил эти писаные и печатные лоскутки, но в сущности смысл и содержание их были ему известны ровно столько же, сколько и жестяной алебарде, которая тоже торчала рядом с Мымрецовым, только у другой колонки... Оба они пропагандировали нечто другое и, следовательно, недаром мерзли на ветру...

Будочник Мымрецов принадлежал к числу "неспособных", то есть людей, совершенно негодных в войске. Эти неспособные большею частию происходят или из обделенных природою белорусов, или из русачков северных бесхлебных и холодных губерний. Мачеха-природа и лебеда пополам с древесной корой, питающей их, загодя, со дня рождения, обрекает их быть илотами и богом убитыми людьми; она наделяет их непостижимою умственною неповоротливостmю и все почти задавленные стремления человеческой природы сводит на жажду водки, которую они поглощают в громадных размерах; они умеют напиваться молча, не произнося ни единого слова; молча дерутся в кровь и, валяясь где-нибудь в глухом и безлюдном переулке, почти в беспамятстве умеют бормотать только одно: "виноват", ни на минуту не выпуская из скудного и запуганного воображения образ грозного начальства.

Начальство вообще панически действует на них; при виде его несчастные "неспособные" вытягиваются в струнку, замирают и задыхаются в воротнике, стянутом туго-натуго; виски, намазанные для праздника свиным салом, начинают потеть, а глаза получают способность пускать слезы. Кроме мачехи-природы, последние признаки человеческого существа из них выколачивает военная муштровка; в древние времена результаты ее отдавались у неспособных на скулах, под скулами, на спине и далее. "Муштра" комкала их, переламывала в нескольких направлениях, как какую-нибудь палку или доску, и, оставив в живых только косицы, намазанные свиным салом, сдавала в провинции на разные должности: в "хожалые", пожарные и проч. Воины эти, вступая на новый пост, непременно имели разные увечья и вывихи - разорванную в драке губу, выломанное ребро, ухабы и ямы в голове и спине; соединив эти приобретения с тем наследием природы, о котором уже упомянуто, они представлялись субъектами самого странного свойства; никто никогда не мог вдолбить им в голову чего-нибудь, не относящегося до их пожарной специальности, и, в свою очередь, тоже и от них нельзя было добиться чего-нибудь. Самый краткий разговор с таким существом всегда оканчивался тем, что начавший разговаривать прерывал речь, с ожесточением восклицая: - Да что ты? Ты оглох, что ли?..

Но субъект не оглох, он просто был "неспособный".

Будочник Мымрецов обладал всеми упомянутыми увечьями в полном объеме; все эти вывихи, переломы имелись у него даже в сверхкомплектном количестве, делая из него угрюмую, неповоротливую фигуру, весьма походившую на корень дерева, глубоко сидевший в земле и

вывернутый оттуда силою бури; видно было, что тут происходило и упорство, с одной стороны, и сокрушительная сила, с другой; корень вывернут из земли, изувеченный и бездушный.

Несмотря на то, изувеченность и умственное оскудение были главною причиною того блистательного успеха, с которым Мымрецов занимал предназначенный ему пост, можно даже сказать наверное, что успех этот мог увеличиваться и возрастать по мере того, как течение времени и драк будет выхватывать у него новые ребра и делать новые ямы в голове Только при таких условиях раскраденный умственный капитал его, не развлекаясь никакими посторонними интересами, мог сосредоточиться и даже впиться в главные его обязанности; обязанности эти состояли в том, чтобы, во-первых, "тащить", а во-вторых, "не пущать"; тащил он обыкновенно туда, куда решительно не желали попасть, а не пускал туда, куда этого смертельно желали. Словом, где только человек находился в положении, определяемом фразою "ни назад, ни вперед", там наверное Мымрецов принимал живейшее участие; говорят, что с течением времени Мымрецов до того въелся в это таскание, что в людях начал замечать только шивороты и этим отличал людей от бессловесных животных и неодушевленных предметов; поэтому-то Мымрецов и жестяная алебарда были представителями шиворотной пропаганды и, следовательно, недаром мерзли на ветру.

Забота о шиворотах поглотила все его существо, так что в ней, как в бездонной пропасти, почти бесследно исчезала последовательная нить его философии и свойства его как семьянина; о семейных отношениях его к супруге можно сказать, что он и жена жили не так, как живут кошка с собакой, потому что несходные качества этих животных совмещались в одной супруге, и Мымрецову осталась роль бесчувственного пня, на который могут брехать собаки и царапать лапами кошки, не надеясь получить в ответ ничего, кроме мертвого равнодушия и поплевываний в угол, и то вследствие приятного ощущения, доставляемого махоркой. Гробовое молчание и угрюмость решительно не давали возможности разглядеть в подробности все личные особенности Мымрецова; несокровенным было то, что он очень любил тютюн, услаждавший его в минуты отдыха, и что три денежки в сутки да ковриги казенного хлеба с нумерами на верхней корке, написанными мелом, поддерживали его изувеченное существование на славу множества шиворотов, и только; мрак угрюмости и молчания непроглядною пеленою покрывал тайну происхождения его других желаний и убеждений. Так, нам уже известно, что он умел, в качестве илота, напиваться молча; по праздничным дням он угрюмо шатался из двора во двор и везде лил в себя водку, не зная решительно границ этому литью и не подозревая, что желудок его не бездонная пропасть. Целые недели после этого он мучился грудью, поясницей, головой, но на следующий праздник история повторялась в том же порядке.

Такою же таинственностью покрыта его страсть копить серебряные пятачки. Почему он с лихорадочною жадностию завертывает тихомолком каждый пятачок в тысячу тряпок?

зачем так далеко прячет их в шерстяной чулок и засовывает потом под крыльцо? Неужели он думает нажить богатства и сокровища? Неужели об этих сокровищах он так усердно молит бога, оставшись вечерком один, не спускает с крошечного образочка своих глаз, падает на колени и так крепко, крепко бьет себя кулаком в грудь?..

Мымрецов объясняет эти молитвы и собирание пятачков тем, что скоро он пойдет в свою сторону: он дожидается только времени, когда перестанут у него ныть кости, руки и ноги...

Он ждет, пока у него отойдет хрипота в груди, мешающая ему свободно дышать, и тогда он непременно уйдет к своим...

II

Вообще таинственные свойства души Мымрецова совершенно необъяснимы, и мы, не имея права умозаключать о них, прямо переходим к его деятельности.

Деятельность эта, то есть таскание и хватание за шивороты, не прекращалась у Мымрецова ни на одну минуту: утром он обыкновенно отправлялся в часть и рапортовал начальству о своих успехах, излагая речь сообразно с своею изувеченностью и искалеченностью.

- Ну, - спрашивал его квартальный, перелистывая какие-то бумаги, - ты что же это там с бабами-то воюешь?

- Помилуйте, вашскобродие, я только что отпихнул ее от себя.

- Кого?

- Эту самую даму... Смоленскую..!

- Какую Смоленскую?

- Да которая, например, шельма самая... Гордеиха приказывает ее узять, а она говорит: "Я, говорит, с эстой дрянью не пойду". Она, вашскобродие, меня дрянью назвала...

- Ну?

- Ну, я ее отпихнул... говорю: "Ты мне не нужна!" А разодравши они были прежде... Я подбег, они уж разодравши были... и уж глаз расшибли... в том числе...

- В каком числе?

- В числе драки-с.

- Черт тебя знает, что ты городишь! Посадил?

- Помилуйте!

- Ступай!

Обыкновенно дела шли таким образом, что Мымрецов не успевал возвратиться домой, как где-нибудь на пути к будке ему навертывалась практика; но иногда прямо из части он приходил в будку, расстегивал шинель и, сладостно поплевывая, курил тютюн. В эти минуты он не слыхал, как жена его, орудовавшая у печи, костила его по какому-то случаю и замахивалась на него ухватом: угрюмо и безмолвно наслаждался он махоркой; но когда махорка выгорала в трубке и Мымрецову предстояла необходимость ограничиться созерцанием возносимых над его головой ухватов, ему вдруг делалось скучно и тоскливо; выйдя на крыльцо, он тревожно поглядывал в одну и в другую сторону, ища поживы, снова возвращался в будку и начинал чувствовать, что у него болят руки, ноги, ноют кости... Ему непременно нужно было куда-нибудь торопиться, ловить что-нибудь или кого-нибудь. Судьба обыкновенно недолго держала его в таком томительном состоянии.

Вот отворилась дверь, в будку понесло холодом, и вслед за тем появилась фигура женщины в истертой синей шубейке, с лицом, облитым слезами и покрытым темными, словно чернильными, пятнами. Слез и пятен достаточно Мымрецову, чтобы увидеть под ними шиворот. Он начинает торопливо застегивать шинель и говорит:

- Где? - намекая тем на местопребывание шиворота.

Ему не нужно знать, почему и что? он давно убедился, что в этих слезах и синяках ничего не разберет сам черт.

- Ох, да недалечко, родной, - говорит старуха. - Туточко вот... к полю... Уж и наказал господь... О-ох!

- Потому, нам нельзя допущать дебошу, - торопливо говорит Мымрецов, надевая шапку. - Где тесак?

- Сократи ты его! Сделай твою милость...

- Палка где? Потому, мы не допущаем, коли ежели шум, например... Нам этого нельзя...

Палка найдена, и Мымрецов исчезает, куда призывает его долг, а будочница от нечего делать занимается исследованием причины синяков и слез; она знает все, что ни делается в окружности.

- Сынок аи нет? - спрашивает она старуху.

- Ох, нет, родная, не сын! Нету сыновьев-то! зять!

- Зя-ять?.. А то вот тоже у соседей поножовщина идет - ну, там сыновья!..

- Зять, зять, родная!.. Кровную детищу отдала - загубила. И ровно враг меня обошел, как отдавала-то я!.. За вдовца отдавала-то! конокрад, родная!.. Которые родные в то время случились, "что ты, говорят, делаешь? Что ты в гроб-то ее заживо кладешь?.." Дочку-то... Нет! Отдала...Прельщение от него уж очень большое было! "Век, говорит, кормить буду... до смерти..." Искусилась, да вот и вою... Только что, господи благослови, повенчали их, ан гляжу - уж он ее...

При этом старуха сделала руками такой жест, как будто бы хотела представить, как полощут белье...

- Опосле этого-то он недолго ее помучил - в солдаты ушел, охотою... В те поры мы с дочкой-то всё бога молили, чтоб ему голову бы снесли прочь... Всё, бывало, черкесов да кизильбашей этих поминали в молитвах - не утаю, родимая! Остались мы с дочкой да ребенок - троечкою; дочка-то пошла по портомойней части, а я так, на старости, с ребенком... Сама знаешь, касатка,

портомойную-то часть. Теперь возьми зимнее время - бесперечь на речке, у проруби, руки и ноги стынут, да опять целый божий день согнувшись - легко ли дело! Уж она, бывало, придет домой, в чем душа... в чем только душенька!..

А там, глядишь, в ногу вступило, там в груди не пущает...

Трудно, трудно было! Ну, всё жили... Пять годов этак-то мы мучились, и в теперешнее время бога бы благодарить надо:

ходим не отрепанные, дите, внучек мой, тоже не без призору; чай пьем кажный божий день, а по праздникам иной раз и внакладку, бывает, разоряемся. Помаленечку! Только было выскреблись, ан господь и прогневался... Кровопийца-то наш, Пилат-то, пришел ведь! Эдакая образина! царица небесная...

Глянула я на него, как он ночью-то к нам ввалился, - так меня ровно бы тряс какой схватил... Трясусь вся! И дочка-то тоже в трясение вошла... Трясемся мы, что сделаешь-то! Стала это я его потчевать (сама знаешь, голубка, "не для зятя-собаки, для милого дитяти..."), а сама так вот и взлетываю... Хочу-хочу чашку ему подать, а руки-то кверху, а сама-то я в сторону...

Порхаем с дочкою, ровно перепелки... И слова-то выговорить не могу: тра-ла-ла - только всего; хоть возьми вот топор да отсеки язык - все то ж самое! А Пилат-то наш заприметил это.

"Что это, говорит, родственники мои, не вижу я в разговорах ваших настоящего порядку?.. Чем вам этак-то друг друга с ног сшибать, лучше же ты, теща, предоставь нам штоф вина..."

Я было ему: "На что вам, Максим Петрович, эдакую прорву вина? (вежливо стараюсь...) Вы, говорю, неравно с этакой пропасти начнете над нами мудрить..." - "Намерение, говорит, мое такое, чтобы штоф..." Пошла я, горюшко мое, принесла... Пьет он вино-то и дочку мою потчует. Никогда вина в рот не бравши, очень ее растомило... "Сем, говорит, Максим Петрович, я прилягу, растомило меня..." Ляг она, да и засни.

Как он, сударушка моя, увидал ее тихий, приятный сон, тую ж минутою хвать ее - и давай... "Ты, говорит, меня не любишь... Муж пришел, пять лет не видались, а она только приткнулась к постели и захрапела..." Я бросилась разнимать, говорю: "Что вы, что вы, Максим Петрович! вы этак посуду перебьете... (вежливо с ним стараюсь...) тут, говорю, на десять целковых добра", - а он-то ее...

Старуха опять повторила жест полоскания белья и замолкла, всхлипывая.

- Наутро, родимушка, ушел он в деревню, к своим... Через неделю приходит. Поцеловались они честь честью; думала я - на добро этот поцалуй, ан вот что вышло... Сел он на кровать и говорит: "Я, говорит, супруга моя, беру вас в деревню... с собой жить, чтобы по мужицкому положению". - "Нет, - говорит дочь моя, - невозможно этого сделать; потому - у меня свое хозяйство... Каков, говорит, есть на сем свете грош, - и того я от вас, Максим Петрович, не видала; кровными трудами копила, мне этого не бросать". - "А ежели, говорит, я посконного масла набил на пять целковых и картофелю запасил - это как? Могу я бросить или нет?" - "Воля ваша! отвечаем: у нас посуда... теперь, ежели ее продать, что за нее дадут? Окромя того, мы отроду не едали вашего свиного кушанья... Будьте так добры!" - "Ну, а ежели, например, я набил посконного масла?" - "Воля ваша... У нас тоже утюги, тарелки..." - "Не бросать же мне!" - говорит. "И нам тоже не бросать!.." Тут мы и стали; он говорит: "У меня то, другое: - масло, веревки..." А мы говорим: "И у нас тоже, батюшка, вилки, ложки..." Он опять, значит: "Картошки, дрова, сбруя..." А мы своим чередом: "Утюги, мыло, доски..." - "Не бросать же мне?" - "Да и нам тоже не из чего бросать!.." - "Ну, а ежели, говорит, я возьму да по-свойски поступлю, например?" - "Воля ваша! - у нас посуда!.." - "А ежели я возьму да не помирволю?" - "Не бросать же нам..." Тут, милая моя, он поднялся и сделал с нами, с женщинами, шум... Ах, и очень большой шум сделал!..

В это время на улице раздался крик и плач; рассказчица выбежала на крыльцо будки и увидела следующее: посреди дороги шел Мымрецов и увлекал за собою прачку, дочь рассказчицы; Понтийский Пилат, то есть солдат, шел сзади жены и, подталкивая, говорил:

- Нет, ты свинова кушанья не едала - отведай! Опробуй его, матушка!..

- Дитю-то! дитю-то у него отымите! - вопияла прачка.

- За что ж дочку-то? дочку мою за что? - не понимая, как все это случилось, кричала рассказчица...

- Разговар-ривать! - отвечал на все вопросы и просьбы Мымрецов, зацепивший прачку потому, что она первая подвернулась ему под руки; он, должно быть, знал, что у каждого из них своя посуда, и, следовательно, кого ни схватить из них - все одно и то же.

III

Совершив этот подвиг, Мымрецов направился было в будку, чтобы озаботиться насчет тютюну, но едва он отворил туда дверь, как тотчас же получил новый адрес шиворота и торопливо отправился за ним; будочница выслушивала уже новую историю; рассказывала ей какая-то весьма полная дама; под ковровым платком, покрывавшим ее плечи, казалось, покоился какой-то битком набитый чемодан; но в сущности чемодана там не было никакого, а была массивная грудь дамы; волоса ее были причесаны именно так, как чешется дворничиха Дарья, желающая быть дамою и Дарьею Андреевною: прядь волос с середины лба загибалась к затылку, где торчала коса величиной с пуговицу; по бокам этой пряди волоса падали на виски и уши, наподобие каких-то блинов или ушей легавой собаки; в такой рамке заключалась конусообразная физиономия с маленьким носом и окороками вместо щек. Дама эта имела собственное "заведение" и хозяйство, и так как деятельность ее совершалась преимущественно в области драк и буйств, то она была коротко знакома с будочницей и иногда делала ей сюрпризы. На этот раз дама принесла кусок сахару и щепотку чаю, завернутые в бумагу. Обрадованная вниманием дамы, будочница из всех сил суетилась около самовара, который изрыгал клубы дыма, и в то же время слушала историю, которую не спеша рассказывала дама.

Дело в том, что дама была очень оскорблена отсутствием в людях совести: одна из девушек, которыми держится хозяйство дамы, несмотря на ее благодеяния вроде чая внакладку, никак не хотела оценить всей глубокой доброжелательности своей опекунши: она не слушала ни одного ее совета; если, например, дама доказывала, что, "чем сидеть сложа руки или улизнуть куда-нибудь на извозчике, - лучше отправиться с салазками на речку и перестирать собственное белье", - то неблагодарная словно и не слыхала этих слов и более старалась удрать хоть в ближний кабак, только б не "спокойно" сидеть среди хозяйства дамы. Непокорность и дебош этой женщины достигли наконец того, что она совершенно исчезла от дамы и вот уже почти две недели скрывается в жилище горького пьяницы, портного Данилки.

Во время этих рассказов обе дамы не переставали ни на минуту наливать себя кипятком, обливались ручьями пота, обтирали мокрые и толстые шеи какими-то тряпками и говорили:

- Ну и где же, позвольте вас спросить, - говорила дама, - где же теперича у людей эта совесть?

- Степанида Петровна! - с глубоким сочувствием ответствовала будочница, захлебнувшаяся дареным чаем$ - красавица ты моя! Ну где же, например, скажите мне на милость, это совесть у людей, я все думаю?..

А между тем именно во имя этой исчезнувшей совести действовала та неблагодарная женщина, которая покинула благотворительную даму и приютилась у портного Данилки.

Это было две недели тому назад.

В одну темную ночь Данилка, "урезавший" сверхъестественную муху, шатался по пустынным и сонным улицам с какой-то крайне убогой женщиной под ручку и вместе с нею оглашал спящий город самыми удалыми песнями. В песнях главным образом преобладал элемент самого скорого отъезда из здешней грустной жизни - куда-то... "Мы наймем себе курьерских, развадчайных лошадей", - пели гуляки темною ночью и шатались по темным улицам.

Наутро Данилка открыл глаза, увидал свою убогую каморку и еще более убогую подругу. Узнал он также, что вместо головы у него на плечах пудовая гиря и что опохмелиться нет никакой возможности. Все это заставило его с грубостью отнестись к приятельнице.

- Это почему такое здесь? Ко дворам бы пора...

- Чуточку только погреюсь, Данил Гордеич. Уйду-с...

- То-то, поспешать бы...

- Уйду, уйду-с! Растоплю печку и побегу...

- Ну, и более ничего, с богом... только всего...

Два полена, выглядывавшие из печки и покрытые снегом, скоро затрещали, в конуре Данилки запахло дымом, пробивавшимся сквозь дырявую печь. Подруга сидела на полу и грелась, ежась плечами.

- Сию минуту уйду-с... - шептала она. - Не побеспокою... Озябла, признаться, бегала... Вам, Данил Гордеич, опохмелиться бы хорошо теперича...

Данила Гордеич, убежденный, что опохмелиться нечем, сурово смотрел на подругу.

- Это мое дело... Боле ничего!

- Право-с... Я, признаться, сбегала... Не угодно ли?.. Это вам для просвежения...

Оборванная женщина подсела к нему и поднесла стакан вина.

- Это ты где же деньги-то взяла? - не изменяя суровости, сказал Данило. - Ты, гляди, по карманам где не нашарила ли?

- Я, признаться, точно что... ну, нету у вас по карманам ничего... Да вы не бойтеся. Я чужого отроду не бирала... Вот щеколду у вас в жилетке нашла, вот она... Извольте. Это вы не беспокойтеся. Кушайте.

- То-то... Вы мастера по чужим карманам нашаривать...

- Нет, нет!.. Где уж нам, голубчик, на чужое льститься...

На свои, признаться, двенадцать копеек сбегала... Кушайте...

Оно освежает...

- Вы это мастера облущить кавалера, - сказал Данило Гордеич и выпил.

Выпил он, почувствовал просвежение и продолжал молча смотреть на подругу.

- Все-то разворовано, раскрадено, - говорила она шепотом, прибирая какие-то гвозди и палки, - ишь натекло с окошка-то!.. Аль это у вас некому стену-то заткнуть, ишь несет оттуда, ровно из погреба...

Так шептала она, изредка прибавляя: "сейчас, сейчас, батюшка, уйду", - и Данило Гордеич почувствовал, что в этом прибиранье, в этой заботе о просвежении нету никакого желания нашарить в карманах и обокрасть... Думал, думал он, молчал, соображал, но в голове его ничего путного не происходило: не являлось ничего такого, что было ему очень нужно теперь, что ему именно теперь хотелось узнать... Но зато в груди его что-то поднималось и буровило...

- Ну, покорнейше вас благодарю, обогрелась... теперь...

При этих словах грудь портного с боков сдвинуло что-то.

- Ты! - крикнул он весьма громко.

- Что, голубчик?..

- Оставайся!

Женщина изумленно посмотрела на него.

- Не ходить?

- Совсем оставайся... Не пущу!.. Боле ничего!

Данило Гордеич повернулся было спиной к своей уходившей подруге, но тотчас же вскочил и заговорил:

- Да что там? вот разговаривать!.. Беги-ко за водкой... полштоф!

- Не прогонишь? - чуть не рыдая, говорила женщина. - Голубчик!

- Я говорю, беги!.. Х-хе... Да я их, чертей... Ну-кося, вот эту штуку захвати в кабаке-то оставить.

- Чужая ведь! Данил Гордеич - заказная!

- Расшевеливайся! Заказная! Я их! погоди!.. Да сем-ко я с тобой... Что там!

С этих пор настало новое пьянство, пропивалась заказная работа, пелись песни, постоянно слышались слова: "черт их возьми!", "погоди!", "я их!"

Пьянство это дышало какою-то надеждою и не носило того тягостного оттенка, с которым Данилка пьянствовал до сего времени. Новые чувства, расшевелившиеся в нем, выражались как-то странно. Иной раз он вдруг задумает что-нибудь открыть своей подруге, попытается что-то сообщить и скажет: "Чуешь аи нет, что я говорю?" Потом схватит ее за руку, сожмет ее крепко-накрепко, скажет: "так аль нет?", хлопнет со всего размаха своей ладонью по ладони приятельницы, словно барышник на конной, потом опять начнет ломать ее пальцы в своей руке и заорет:

- Пон-ни-маешь ай нет?

- Понимаю, Данил Гордеич, понимаю-с!

- Ну, и боле ничего! Так я говорю?

- Так, так...

- Ну, и шабаш!.. Только всего!

Пропивание чужого добра шло довольно долго. Подруга Данилки, знавшая, что остановить этого пропивания невозможно, заботилась только о том, чтобы друг ее не разбил себе головы: остальное "наживется".

К концу двух недель после первой встречи настала в конуре Данилки тишина и труд...

- Что за шум! - заговорил Мымрецов, появляясь в одну из таких необыкновенно тихих минут. - По какому случаю дебош?

Мымрецову не могло даже представиться, чтобы не было буйства там, где появлялся он.

- Потому, мы не допущаем, чтобы, например, дебош! - продолжал он, хватая Данилку.

- Кузьмич, друг! - завопил портной, - что ты?

- Не бунтуй, бунту не заводи! И теперича женский пол, ежели...

- Женюсь, женюсь, брат! в закон беру, аль ты очумел? за что ж в часть-то? в закон! хоть сейчас под венец.

Мымрецов выпустил шиворот Данилки и остался среди конуры в большом недоумении.

- Что ты? - продолжал Данилка укоризненно. - А я было в намерении моем на брак мой тебя хотел потребовать, но ежели ты меня в поволочку...

Долго Данилка укорял Кузьмича в несправедливости его желаний и развивал планы насчет будущего супружеского счастия с Аленой Андреевной, которой он задумал передать на руки свое добро и хозяйство нажитое. Речи его были до того сильны, что Мымрецов не осмелился снова посягнуть на свободу Данилки, а только прибавил:

- А все, Данил о, надо бы тебе по делам-то в части высидеть... Потому, дебош оченно большой ты затеял. Оченно большой шум!

IV

Надо сказать правду, что случаи, подобные вышеприведенному, когда шиворот, попавший уже в руки Мымрецова, неожиданно исчезал из них, бывали с нашим героем довольно часты.

В такие минуты он решительно не мог ничего сообразить и предавался глубокому унынию.

- У нас этого нельзя, - бормотал он, возвращаясь домой, например, от Данилки: - мы не дозволяем этого, чтобы вырываться... Так-то.

Течение времени, конечно, успокоивало его, но бывали моменты до того потрясающие, что потом нужно было много удачных тасканий, чтобы привести Мымрецова в нормальное состояние.

Вот, например, однажды темным зимним вечером в будку просунулась голова сыщика.

- Живо! Собирайся! - крикнул он Мымрецову и снова захлопнул дверь, чтобы созвать еще двух подчасков; сыщик торопился по случаю одного важного дела, в котором принимали участие многие уездные сановники: вечером того же дня у почтовой гостиницы сзади одного дормеза был отрезан каким-то вором чемодан. Надо было разыскать вора.

Мымрецов скоро был готов и вышел из будки, чуя поживу; на улице его ожидали сыщик, сидевший в санях, и два солдата.

- Куда ж нам натрафить? - спросил сыщик.

- Теперь, вашескобродие, надо бы нам в ночлежные дома утрафлять, - сказал солдат.

- Да застанем ли кого? Прохоров! есть там кто, как ты думаешь?

- Надо быть, вашескобродие, - отвечал Прохоров. - Потому к полночи там этих мошенников самая густота собирается...

- Главная причина - на след-то попасть...

- Так точно, вашескобродие! - присовокупил Прохоров.

Воинство двинулось в путь; ночь была ветреная; оголенные деревья стучали сучьями, между которыми свистал ветер. Ночлежный дом, куда пошли сыщик и солдаты, представлял ужасающее зрелище. Это был длинный старый дом, в котором когда-то жили господа бояре или богатые купцы; теперь этот дом сгнил, обвалился; вместо ворот стояли одни притолоки; осевшая посредине крыша выперла полукругом всю стену, смотревшую на улицу; ставни днем и ночью были заколочены, и сквозь щели в них виднелись гнилые решетки рам без стекол или стекла,

напоминавшие торговую баню; внутренность этого жилища была не менее ужасна: повсюду в полу виднелись глубокие ямы; в разных местах подпорки подпирали нависшие книзу потолки, ободранные стены были голы и украшались только гирляндами пакли, торчавшей между бревен. Черный ночник, накоптивший на стене длинную черную полосу, загибавшуюся на потолок, колебался от ветра, дувшего отовсюду, и едва-едва освещал массу храпевших и охавших людей; все они лежали вповалку на полу; тут виднелись солдатские шинели и деревянные ноги вместо настоящих; мелькали узлы богомолок, перевязанные покромками; виднелись мешки плотников, тряпье, лохмотья.

Появление будочников произвело некоторое волнение; все закопошилось и вдвойне заохало. Несколько солдатских шинелей исчезло, укатилось в соседние, еще более холодные и темные комнаты. Среди ночлежников если не все, то большинство были люди вовсе не подозрительные; так называемых "Пешковых" не пускают по ночам на постоялые дворы, и этим безвыходным положением пользуются ловкие люди: они нанимают за бесценок какую-нибудь развалину и загоняют туда одиноких скитальцев, собирая с них деньги за ночлег. Несмотря на это будочники бесцеремонно относились ко всякому из этой оборванной и одинокой толпы.

- Разговаривай! - кричал Прохоров, самый опытный в сыскных делах. – Это что за узел?
- Сухарики, отец, сухарики, батюшко... хоть всеё обыщи...
- Сухарики! Ну-ко, ну... куда суешь-то?
- Куда мне совать! Господи батюшко!
- Говорю, подай! Это откуда платок? Э-э, брат! Да ты кто такая?..
- Странница, отец родной, скитаюсь.
- Покажи-ка вид... Э-ге-е! Возьми ее... эй!
- Голубчики!..
- Покрепче приструни!.. Слышишь! Это что?
- Соль, соль, отец родной!
- Повернись... Ну-ко, встань, поворачивайся!.. Ты кто такой? Вид есть?
- Плотник, рабочий.
- Вид покажи!..
- Ды он у меня, вид-то...
- Эй! Привяжи его к богомолке... там разберем!

Все население ночлежного дома встало с своих мест, закопошилось, перетряхивало тряпки, лохмотья, охало... Повсюду слышались слова: "Хоть всеё обыщи... господи...", и тут же раздавалось: "Эй, ты! Ну-ко, повернись... Отставно-ой? Нет, погоди!" и т. д.

- Что зарылся-то? у меня, брат, прижукнуться мудрено! – произнес Прохоров, останавливаясь около одного спавшего человека. Это был дряхлый старик, почти раздетый и седой как лунь; из-под дырявого кафтанишка, которым накрылся он, виднелись две маленькие шершавые детские головки.

- Господи помилуй!.. - зашептал старик, поднимаясь.
- Чешись! - перебил Прохоров, - разговаривай!.. Вид покажи...
- Есть, есть... Пашпорт есть, - кротко и торопливо шептал старик, ощупывая свое логово. - Есть.
- Это чьи дети? Покажи-ко узел...
- Внучки, внучки... батюшка. Погорелые! Было все, стало - нету ничего!

Дочернины детки-то!

- Узел чей?
- Чужой узелок... чужой! Нету узлов... Ни узлов, ни-и...

ничего нету!.. Побираемся... где узлам быть, постелиться нечем!..

Нету...

- Пашпорт!
- Есть, есть!.. Это есть!., уж где разутым, раздетым...
- Он пьяница! - раздалось вдруг из толпы ночлежников. - Вы ему, ваше благородие, не верьте... Ему добрые люди помогают, и то он не имеет своих правилов...
- Помогают, батюшко, помогают!.. - так же кротко отвечал на это старик.

- Слепыми полушками помочь оказывают...

- А тебе мало? - слышалось в толпе. - Твоего внучка-то намедни барин одел, а ты снял с него одежду-то... где она?

Пропил!

- Проел я одежду, кормилец, - не пропил! Дай бог барину – точно наградил... И франтовитым одеянием даже наградил... Ну, проел я его! Да!.. Нету ничего...

- Нет, вы бы его, ваше благородие, в частный дом... Потому, смущение от него большое... Вы бы его, вашбродие, сцапали бы.

- Нельзя, голубчик, нельзя!.. - кротко продолжал старик, глядя в землю... - Невозможно этого... Не за что сцапать-то!

И шиворота-то у меня настоящего нету... Не уймешь.

- Вы ему, вашескобродие, не верьте! - прибавил голос из толпы. – От него и на нас мараль идет...

Но нельзя было не верить старику: у него действительно не было порядочного шиворота... Мымрецов, высвобождавший руку из правого рукава, чтобы соколом налететь на пьяницу, при последних словах старика совсем остолбенел и потерял сознание. Таким образом, благодаря отсутствию шиворота старик остался нетронутым в своем логове, с своими дочерними детками, с холодом, голодом и правом на побирушество.

Да, бывали, бывали подобные происшествия с Мымрецовым.

Почему это он не торопится и не суетится, как обыкновенно, а не спеша, вяло, нехотя идет на призыв? Это верный знак, что нет места его теории в предлагаемом деле.

Вот его пригласили на пивоваренный завод, где один рабочий, испуганный рекрутчиной, бросился в котел с кипятком и обжегся. Мымрецов молча и угрюмо смотрит на охающего и распухшего мужика и ясно видит, что некуда его тащить. Желая успокоиться, он дает оборот своим мыслям: "нельзя ли его по крайней мере не пущать?" Но и это оказывается невозможным. Чтобы окончательно не скомпрометировать себя перед толпой народа, Мымрецов наконец решается объявить свое суждение:

- Ну, что ж зевать-то?.. По какому случаю шум?.. Уж ежели ты, к примеру, влетел в котел, следственно, ты здорово, например, обжегся... Будем так говорить... Чего ж зевать-то?..

Затем он ушел, а умирающий продолжал лежать и охать...

Бывали такие случаи.

А в доказательство того, что судьба вознаграждала Мымрецова за эти страдания, вернемся к сыщику.

- Теперь нам надо, вашескобродие, поспешить, - говорил ему Прохоров, выбравшись из ночлежного дома. - Попусту много промешкали... Надыть нам поторапливаться, а то вор-то, поди-ко, где уж щелкает...

Но вор, впрочем, недалеко ушел от них. Он притаился в лачужке в конце города, в овраге; здесь жила его жена с ребенком и какой-то старый солдат-калека. Чемодан был давно распакован; в нем оказалось роскошное детское белье и разные туалетные вещи.

Мало было поживы вору от этого добра. Роскошь его слишком приметна для того, чтобы не навести в этой бедной стороне на вопрос: "где ты взял этакое?" Тем не менее похититель коечем воспользовался и успел спустить. При разборке чемодана старый солдат получил в подарок ножик из слоновой кости и коробку пудры с золотыми украшениями. Когда сыщик с солдатами подобрался к лачуге, внутренность ее была ярко освещена; на полу, около развороченного чемодана, спал, закрывшись, человек - это был вор. Солдат сидел на лавке и повертывал в руках то ножик, то коробку, ухмылялся и
бормотал:

- И духовитая, провалиться ей!.. Пойду в свою сторону - снесу... Надумают же!.. Эва, ножик-от, тупой... Ни то им резать, ни то шут его разберет... Песок не песок, а поди, чкнись укупить!..

Старик нюхал коробку, качал головой и ухмылялся.

Прямо против окна стояла женщина, высокая и красивая, на руках ее был мальчик не больше году от рождения; на нем была надета одна из роскошнейших краденых рубашечек, не закрывавшая, впрочем, ни грязных рук, ни ног, ни чумазого детского личика.

Мать подбрасывала его к потолку, тормошила и, слегка щекоча ему грудь, говорила:

- Ну, чем не графский барчонок? Ну, чем ты только не красавчик, чем не ангелочек?

- Отворяй! - загремев кулаком в окно, гаркнул Прохоров.

В лачужке заметались; солдат начал торопливо прятать пудру в сапог; спавший человек вскочил, бросился в дверь; но его встретил Мымрецов.

- Вот он - ты! - сказал будочник.

- Вот он, вот он!.. - бессознательно бормотал вор, остановившись.

Скоро Мымрецов был удовлетворен.

V

Теперь необходимо обратить внимание на самую будку, так как деятельность Мымрецова, несмотря на довольно большое однообразие, в сущности решительно неисчерпаема; всякий шиворот непременно совмещает в себе целую драму, а пересчитать эти драмы - нет физической возможности. Поэтому-то мы и обратимся к нравам самой будки.

Кроме Мымрецова, его жены и случайных посетителей, иногда проводивших здесь тягостную ночь, в будке были еще постоянные жильцы; это были бедняки, не имевшие места, где бы приклонить голову. Если у них было что перекусить и выпить, они делились этим с будочниковой супругой и старались не запруживать будку своими нищими телами; в минуту безденежья и бесхлебья они прямо шли в будку и говорили будочнице:

- Авдотья! Мы к тебе...

- И когда только это провал вас возьмет! - гневно отзывалась будочница, но не гнала их, во-первых, потому, что добрые сердца бывают и в храминах и в хижинах, а во-вторых, потому, что от жильцов частехонько перепадали на ее долю довольно вкусные и жирные куски пирогов. Жильцы ее принадлежали к артистическому классу "мастеровщины" и составляли захолустный оркестр. Состав и свойства этого оркестра довольно новы; чтобы познакомиться со всем этим покороче, мы должны зайти в будку в один из дней зимнего мясоеда.

В печке трещат дрова; в теплом и гнилом воздухе висит полоса дыма и слышится довольно плотный букет махорки; будочница орудует ухватом; Мымрецов занят отдыхом и молча поплевывает в угол. В это время в будку входит старичок мещанин; сначала он крестится, потом кланяется хозяевам и, стряхнув с рукава и воротника снег, говорит будочнице:

- Что, любезная, здесь Иван, музыкант, проживает?

- Это который на скрипке?

- Этот.

- Здеся... Да шут их знает, шатуны этакие... их, поди, с собаками не сыщешь...

При этом будочница подняла ухват кверху и постучала им в потолок...

- Сейчас! - глухо отозвались с потолка.

- Аль они у вас под крышей зимуют? - спросил мещанин.

- А то где же? Тут, чай, сам видишь, негде повернуться двоим... А иной раз пьяниц наволокут: хоть возьми завяжи глаза да беги вон.

- Так, так, - подтвердил мещанин.

- А что ж, думаешь, под крышей? - продолжала будочница. - Там им, погляди-кось, какое тепло-то!.. Труба горячая, что твоя лежанка...

- Так, так! Место духовитое... Труба дает теплый дух...

- Там им за первый долг валяться-то!..

- Это справедливо! место хорошее... место миловидное!..

Мещанин сел на лавку, погладил свои седые волосы и огляделся.

- Мешкают они что-то, - сказал мещанин, помолчав.

- Товарищей скликают... Что вы свадьбу, что ль, затеваете? – спросила будочница.

- Да что будешь делать, матушка!

- Кто такие?

- Кушаковы, мещане... здешние жители. Вот внучку просватал за кондитера Ваньку...

- Это хромой-то?

- Хром, матушка, точно, что хром!.. Ну, дохтора обещались оттянуть эту хромоту-то... Беспременно, говорят, оттянем в другое место... И примочку дали, дай бог здоровья... Примачивайте, говорят, через два часа по столовой ложке...

- Ну, дай бог!

- Уж мы и сами бога молим... К спине бы ее, хромоту-то...

- В спину? - спросил Мымрецов, неожиданно услыхав слово, так близко подходящее к шивороту.

- К спине, к спине, друг! Потому, надо так сказать: которая это нога кондитерова, то она более двадцати годов изувечена; ну, мы имеем упование на господа...

- Пьет-то он дюже! - с соболезнованием проговорила будочница. - А уж и девочка ваша!

- Девочка, одно слово! Рукоделью обучена...

- Первая по здешним местам девушка! Уж и мастерок!., ах!

- Ну, да ведь где, матушка, непьяного-то возьмешь? Кто не пьяница-то по нынешнему времени?

Мещанин вздохнул.

- И тяжка же наша женская часть! - заговорила будочница, смотря в печку. - Живет девушка невинная, чувствует про себя всякую любовь, а наместо того: - хвать! да за пьяницу!.. На увечья да на каторгу!..

- Родная! - грустно сказал мещанин. - Нету не пьяницто, нету их! У кондитера, у Ваньки, по крайности сейчас пятьдесят целковых есть! Да платье, погляди-кось, какое невесте подарил! Только что в двух местах маленько тронуто, а то все чистое, можно сказать - муре! Так-то-ся!.. Санта-дубовое обещался - случай есть... Вот и гляди на него! каков он кондитер-то...

При этих словах будочница замолкла. Мымрецов, слушая эти разговоры, начал как-то таинственно покряхтывать, пошевеливаться, и будка неожиданно услыхала следующую речь:

- Ну, тоже, - не спеша начал Мымрецов: - и мужская часть через женскую часть не то чтобы очень благополучно хлеб свой ела...

Тут он остановился, тряхнул головой книзу, завернул лицо в сторону и продолжал:

- Тоже и нашему брату само собой по башке от дамского пола влетает...

С этими словами он вдруг направился к двери.

- Да как вас не бить-то? Как вас, кровопийцев наших, не бить? - загорячилась будочница.

- Да, брат! влетает препорядочно-хорошо! - заключил Мымрецов – и скрылся на улицу.

В это время в будку вошел человек лет тридцати, с доброй, но как будто заспанной, отекшей физиономией. Он был в сером армяке с широким квадратным воротником, лежавшим на спине; на шее виднелся ситцевый платок, туго завязанный крошечным узлом. Армяк был подпоясан кушаком; походил он на дьячка. Человек этот был застенчив и робок; добрые глаза мигали часто, словно стыдились чего. За ним вошло еще двое.

- Доброго здоровья! - сказал армяк мещанину мягким и заискивающим голосом.

- Здравствуй, друг! Ты Иван-то?

- Мы-с... Музыка требуется?

- Да, брат. Вот свадьбу затеяли...

- Дело доброе!.. Дай бог час!.. Конечно... Вам один инструмент
требуется?

- Да хоть и поболе - все одно. Что уж...

- Да на что вам поболе-то-с? Конечно, что звуку более - ну настоящего увеселения не будет-с... Поверьте, так! Нам это дело вот как известно... Тепериче, например, труба или опять генерал-бас - через них только рев поднимается на балу, ну к танцу он не трафит; танец требует аккурату, чтобы нога действовала в существе, но не то, что ежели мы забарабаним очертя голову! В то время может произойти невесть что...

- Это так! - подтвердил мещанин.

- Поверьте, так! Мы на своем веку поработали довольно...

Мы знаем-с. Нет лучше, как скрипка: тихо, чудесно.... А за ценой мы не постоим...

- А за ценой мы не погонимся! - прибавили два другие лица.

Костюмы этих лиц не отличались доброкачественостью.

Один из них, худенький и сухой человек лет сорока, был в чуйке, старался быть гордым и держать себя в порядке. Другой был в сюртуке, воротник которого терялся в каких-то тряпках, намотанных на шее. Сюртук был засален и застегнут на верхнюю и нижнюю пуговицы; боковой карман отдувался. Человек в сюртуке имел широкое рябое лицо, выражавшее равнодушие и весьма покойное состояние духа; лицо это очень походило на тарелку с кашей, густо намазанной маслом.

- Что же, - спросил мещанин, - и эти молодцы по музыкальному мастерству?

- Н-нет-с! - умильно отвечал армяк. - Нет-с, они этому не учены...

- Мы не учены...

- Мы только что вместе ходим-с! - продолжал армяк. - У нас, значит, общее, собственно по бедности. Так как, оставши без куска хлеба, - куда я денусь? которые были по оркестру товарищи, еще при барине, - тоже разбрелись... Струменту не было... с рукой тоже не хотелось, а кормиться надобно... Ну вот попался добрый человек, Петр Филатыч, дай бог им здоровья, инструмент свой доверяют...

- Это точно, что справедливо он говорит! - подавшись вперед, произнес человек в сюртуке. - Потому эту скрипку мне один помещик подарил, как, значит, из послушников монастырских выбыл я...

- Каким же манером в монастырь-то угодил?

- Да, собственно, таким манером, что ружье у одного приятеля моего было... - спокойно объяснял сюртук. - Раз он, приятель-то, баловался-баловался этим ружьем - "эй, говорит, берегись, застрелю!" Шутил. Я думаю, ты шути-шути, а тоже пулею какою двинешь, не оченно чтобы превосходно будет.

Взял да и заслонился рукой. А он как брякнет! Да два пальца мне и отшиб... Извольте посмотреть! Ну, судить. Что, что такое? Ну, выгнали нас, исключили. В училище духовном был я в ту пору... Входил я с прошением, так и доступа мне не было...

Начальник случился робкий, увидал эту руку-то, например, в крови, - "уведите его, говорит, он меня убьет!" Так я и пошел за разбойника... Безрукий человек, куда ему? Думал, думал и вступил в обитель.

- Да, да, да!.. Ну, а из монастыря-то отбыл?..

- А из монастыря я по искушению отбыл... Мысли разные смущали.

- Бесы! - шепнул армяк и кашлянул.

- Ну их!.. Что ж, - неохотно произнес рассказчик. - Гласы были: "Что ты, говорит, изможданешься?.. Лучше же ты утрафь отсюда... Птицы небесные, и те, например..." Ну, я и того... Искусился, да и ушел. Через соблаз. А оттуда, бог дал, к помещику одному мелкопоместному, детей учить: читать, писать... Только помещик-то этот оченно пил. Придерживался.

Капиталу настоящего не было: душ всего шесть да собака борзая, а детей куча, да и вино это самое... Я в то время ничего это не одобрял, да и посейчас не лют; так, балуюсь. Ну, а тогда в компании-то с хозяином и начал... Помаленьку да помаленьку...

Бывало, жена-то воет-воет, а мы - знай свое... В полночь рыбу затеем ловить или в галок из окошка стрелять, это у нас во всякое время коротко и ясно. Сколько раз тонули, чуть детей не перестреляли, - все сходило; а тут вдруг и случись беда...

Напились мы с ним, с помещиком-то, однова, да и поехали вместе. Дорогой начнись у нас спор, слово за слово, я рассерчал да как цапну барина-то по голове!

- За что?

- Да это мне и тепериче неизвестно... Цапнул я его, а он и покатись, покатился да и помер... Ну, дело затеялось, меня в тюрьму... После этого, как, значит, я себя на отделку замарал, - нету мне пропитания: никто не берет, боятся: "он, говорят, убьет!" Некуда мне деться; взялся за скрипку, думаю: обучусь...

Жена помещикова еще скрипку-то не отдавала: "Ты, говорит, мужа убил... Нам самим есть нечего... Нам самим скрипка нужна..." Не отдает! Ну, кое-как я ее отбил, да вот и пускаю в прокат... Скрипка хорошая...

- Скрипка хорошая! - подтвердил серый армяк, - только что щелочка...

- Ну что там щелочка? - возразил сюртук. - Авось я знаю... Кажется, своими руками ее заклеил.

- С этими щелками да скрипками, - прибавила будочница, - вы у меня, черти этакие, целое полотнище из юбки выдрали!.. Ох, музыканты!

- Щелочки той и помину нет, что ты! - продолжал сюртук.

- Да что ж я? - робко зашептал армяк... - Али я чтонибудь?

- Это, брат, скрипка итальянская!

- Я говорю, скрипка превосходная, что вы! Петр Филатыч?.. Так вот-с, - обратился армяк к мещанину: - скрипка ихняя, а струны Иван Ларивоныч от себя держат.

- Моя часть - струна! - сказал сухой и сердитый человек... - Мы, милостивый государь, струну держим дорогую, но не какую-нибудь собачью дрянь, позвольте вам заметить... Потому, нам нельзя как-нибудь!.. Ежели я только что и дышу струною, так уж я должен, чтобы она в полном звуке была...

Так или нет-с? Положим, что я теперь во временной нужде; потому мне надо господина Приглотова дождаться, я у него сейчас буду тыщу рублей получать... Я его на руках своих вынянчил, он не забудет старика, потому это против бога... А что с этими пьяницами мне долго не возиться, - это я вам верно говорю...

Старик с гордостью и даже ожесточением произносил свою речь, презрительно посматривая на своих товарищей.

- С этими пьяницами не нажить мне долго... Я этого не люблю... Я знаю порядок... Я этим не нуждаюсь...

Гордость и презрение, слышавшиеся в этих словах, почти обидели мещанина, тоже с гордостью приготовлявшегося устроить трагическую свадьбу с музыкой... Среди раздраженной речи поставщика струн мещанин поднялся и сказал:

- Ну так как же?

- Да как прикажете! - снова заговорил армяк. - Сейчас - сейчас готовы; завтра - завтра. Как угодно.

- Ну там скажемся. Ладно. Только чтобы уж аккуратно было... Свадьба хорошая...

- Само собой!.. Так мы трое, значит, и прибудем-с... Я для музыки, собственно для искусства, ну, а они так... Пирожка там, чего-нибудь...

- Мы для пропитания! - прибавил сюртук.

Мещанин сторговался и ушел.

VI

Спустя несколько времени происходила свадьба.

В запотелые стекла любопытные зрители могли видеть внутренность лачуги, битком набитой гостями. Среди всеобщего молчания суетились какие-то женщины, поднося водку и поминутно раскланиваясь, в отдалении слышались звуки настраиваемой скрипки и мелькала фигура ее владельца с пирогом в руке и за щекой. Видно было также, как полупьяный кондитер, сидя на диване, притягивал к себе молодую жену, старавшуюся уйти от него; упругий стан ее неохотно покорялся его ласковым объятиям, и грустное лицо чуть не плакало, но всетаки улыбалось. Невеста наконец вышла в другую комнату и залилась слезами; несколько пожилых женщин принялись ее утешать.

- Что ты? что ты, родимая? Ты подумай, какой человек...

Одно - кондитер...

- Больной... и нога... увечный!.. И ухо болит!..

- Ухо? Ах ты, касатка моя! Да ты пройди весь свет - такого уха не найдешь!..

- Нет, нет...

- Ну, а ежели и болит, эко беда какая!.. Уж и заболеть нельзя! Скажите на милость!.. Ты бы и не думала об этом. А уж ежели не нравится, возьми да отвернись...

- Отвернись, а он изобьет!

- Ни-ни-ни! Ни боже мой!.. Не такой человек! Простонапросто попроси у него позволенья, тихо, благородно: "Позвольте, мол, Иван Капитоныч, с краю мне... Уж знаю, мол, что это непорядок! ну, что будешь делать - приучена!.. И сама, мол, не рада, ну не могу!.." Ни-ни-ни!.. Слова не скажет! что ты?

Ведь ишь ты что... Ах ты! голубка моя! уж и смех же с вами, с девушками...

В это время серый армяк с отчаянною быстротою заиграл какую-то пьесу.

Скрипка и струны были не особо звучны: они напоминали не звучное и не стройное, но визгливое и раздирающее душу причитанье старухи.

Общество расшевелилось и зашумело.

- Эй, бабы-ы! - кричал подгулявший кондитер. - Жену чтоб сюда!..

Супругу!.. Это почему такое?

Прислушиваясь к свадебному бушеванью, Мымрецов стоял на крыльце будки, рядом с алебардой, и, должно быть, ей поверял свои одинокие разговоры.

- По какому случаю шум? - бормотал он. - Мы не допущаем, ежели, например...

Но мы уже знаем, что "не допущает" Мымрецов, и не будем потому досказывать историю свадьбы, которая и женихом, и невестой, и драматическими солистами оркестра, кажется, сулит ему большую практику в самом скором будущем.

Книжка чеков

(Эпизод из жизни недоимщиков)

I

Иван Кузьмич Мясников, купец и фабрикант, покончив дела, за которыми нарочно приезжал в губернский город, возвратился в грязноватый нумер грязноватой гостиницы, приказал запрягать лошадей и стал собираться в дорогу.

-- Что ж, Иван Кузьмич, мало погостили у нас? -- помогая уложить весьма небольшое количество вещей отъезжавшего, говорил трактирный слуга. -- Право, совсем и не погуляли в городе-то...

-- Нагуляюсь потом. -- Слава богу, хоть отделался!

-- Всё ли благополучно покончили?

-- Все!.. хорошо! На-ко вот погляди эту штучку.

Мясников вынул из-под жилета и подал коридорному какую-то маленькую книжку, которую тот с недоумением взял в руки и долго с тем же недоумением смотрел на нее.

-- Это что же будет?-- спросил, наконец, коридорный.

-- А это, друг любезный, -- с довольным и веселым лицом проговорил Мясников, -- эта штучка стоит пятнадцать тысяч рубликов! Вот что это такое!

-- Этакая муха? Пятнадцать тысяч?..

-- Да-да, муха, пятнадцать тысяч... Как ты думаешь? Что?

-- Да тут все бумага... все одно, как книжка... Тут денег-то нет нисколько...

-- То-то вот и хорошо!.. Поди-ко узнай, что это -- деньги!.. Чистая бумага, а пятнадцать тысяч в ней весу!.. Называется -- чек!

При этом слове лакей повернул перед собою книжку, поглядел на нее с другого бока и уставил ничего не понимающие глаза на купца.

-- Это видишь что... Сейчас ты отодрал лоскут и получай деньги!.. -- пробовал было объяснить Мясников, но так как и при этом коридорный ровно ничего не понял, то хозяин книжки чеков должен был начать рассказывать ему банковые дела со всеми подробностями. Нельзя сказать, чтобы изложение этих дел, продолжавшееся довольно долго, уяснило коридорному значение книжонки, которую он не переставал держать в своих руках, по временам останавливая на ней внимательный взгляд, тем не менее, когда речь купца была, наконец, кончена, коридорный вздохнул и в каком-то раздумье произнес:

-- Да-да!.. Мала-мала штучка, а какую прорву денег вобрала!

Это выражение очень понравилось хозяину книжки.

-- Питательная книжка, точно! Именно что впитала!

-- Пятнадцать тысяч! -- продолжал коридорный: -- ведь это в старые годы деревня, да сколько душ крестьян, да лесу... И этакая-то муха слопала!

Слуга замотал головою в знак полного недоумения и отдал книжку купцу, который, продолжая быть вполне довольным, спрятал ее опять под жилет,

-- Грехи-грехи! -- почему-то пришло коридорному в голову.

Разговор был прерван появлением кучера, который доложил, что все готово.

II

Через час тележка, в которой, закутавшись в мерлушечью шубу (на случай ночных осенних заморозков), сидел Мясников, ехала далеко за городом по проселочной дороге. Иван Кузьмич дремал, болтая головой справа налево и спереди назад. По временам он шарил у себя на груди под шубой, желая удостовериться, тут ли книжка, и всякий раз, когда рука ощупывала ее, ему почему-то тотчас же припоминалось выражение трактирного слуги: "вобрала"; это слово оживляло его и заставляло невольно припоминать, что именно она вобрала в себя. Но чем яснее представлялись ему составные части этих тысяч и этой книжонки, которая так искусно всосала их, тем менее хотелось спать и становилось как-то скучнее.

Однажды Иван Кузьмич даже вздохнул

Отчего это? Неужто книжонка "вобрала" в самом деле уж очень много? С другой стороны, неужели в самом деле Иваном Кузьмичом положено в эту книжку так много труда, что мысль об этом труде, явившаяся вслед за вздохом, совершенно успокоила его, до того успокоила, что он уже не вздыхал больше ни разу, а скоро и совсем заснул?

Необходимо обстоятельнее познакомиться с Иваном Кузьмичом и его деятельностью, чтобы ответить на все вопросы, толпящиеся вокруг книжки чеков.

Иван Кузьмич, как уже сказано, принадлежит к купеческому званию, хотя ровно ничего не имеет общего с тем типом "купца", к которому привык читатель, которого он видел и в лавке и на сцене. Между Иваном Кузьмичом и "купцом" старого типа ни в фигуре, ни во взглядах, ни в манере деятельности -- нет никакого сходства.

Старомодный купец, как скажет всякий, кто имел с ним дело, жил обманом, богатство приходило к нему темными путями, и слова "темный богач" так же справедливы по отношению к старомодному купцу, как поговорка: "не обманешь -- не продашь" -- справедлива относительно его деятельности. В нем все было обман. Женился он обыкновенно не на женщине, а на сундуке, но притворялся, что он -- семейный человек и живет в страхе божием, зная, что все в его семье точно так же притворяются и лгут, как и он сам. Обходительность и ловкость, которыми он щеголял перед покупателем, пришедшим к нему в лавку, были не более как средством "отвести" покупателю глаза, "заговорить зубы" и всучить тем временем гнилое, линючее или спустить против настоящей меры на вершок, а то и на целый аршин, если удастся... Так думали про старинного купца все, да так думал и он сам, потому что, хоть иной раз он и наживал большие капиталы, хоть иной раз и ловко удавалось ему "обойти" покупателя, -- в глубине души он чувствовал, что дело его "не чисто", что каждую минуту его могут уличить и поступить на законном основании, да и на том свете, пожалуй, будет не очень хорошо. Вот почему старомодный купец считал своею глубокою обязанностью радеть ко храму божию, заглушать голос совести стопудовым колоколом или пудовой свечкой местному образу, с которою он обыкновенно, пыхтя и обливаясь потом, пробирался посреди толпы, наполнявшей храм, толкая публику направо и налево. Жертвы храму божьему успокаивали его душу, сознававшую, что она не очень чиста, но едва ли они могли успокоить его насчет неумолимого закона, которому нельзя ставить никаких свечек, который не нуждается в колокольном звоне. И действительно, закон, начиная будочником и кончая губернатором, постоянно стоял над старомодным купцом в самом угрожающем виде. Купец был дойною коровою всех, кто представлял собою какую-нибудь власть. Он давал взятки, подносил хлеб-соль, жертвовал, подписывал на альбом видов, который общество задумало поднести значительному лицу, проезжавшему из столицы, делал иллюминации "в честь"... участвовал карманом в каком-то аллегри "в пользу" и т. д., не говоря о том, что пирог с приличной закуской -- причем всегда должна быть отличнейшая икра и редкостнейшая рыба (две вещи, неразрывно связанные с словом "купец", как неразрывно связана с этим же словом "лисья шуба" и возглас: "кипяточку!") -- этот пирог не сходил у него со стола для званых и незваных. Квартальный, городничий, частный пристав, брандмейстер, судейский крючок, ходатай и т. д. -- все это шло к нему в дом, в лавку и брало деньги, ело икру, рыбу, пило водку, постоянно грозилось и требовало благодарности за снисхождение. Старомодный купец всем платил, всех кормил, чувствуя себя виновным, и только миновав все эти препоны, то есть накормив, оделив всех, мог завтра опять "заговаривать зубы" и "отводить глаза". Недаром стародавний купец одевался в лисий мех: нечто лисье было во всей его деятельности, а травля, гораздо более оживленная и деятельная, чем бывает травля на настоящую лисицу, преследовала старомодного купца изо дня в день, из года в год. И вот, налгавшись вдоволь, напотевшись за чаем и из страха

наказания за свои плутни, этот лиса-человек кончал тем, что под конец жизни прятал свои деньжонки, скопленные обманом и криводушием, в сундук и, чтобы спокойно дожить остаток дней, должен был притворяться нищим, уверять всех и каждого, что у него за душой нет копейки, а в доказательство справедливости этих слов -- питался одной только редькой.

Ничего общего с этого рода типом Иван Кузьмич Мясников не имеет; в физиономии его нет ни той слащавости, которая замечалась у прежнего купца в моменты спускания аршина на четверть против настоящей меры, ни страха, являвшегося при появлении квартального. Напротив, физиономия Ивана Кузьмича -- физиономия смелая, уверенная, и эту открытую смелость Иван Кузьмич не прячет даже в бороду, потому что "по нонешнему времени" он эту бороду бреет. Такая существенная разница между старым и новым представителем капитала объясняется тем, что старый тип считал свое дело в глубине души "не совсем чтобы по-божески", а новый, напротив, ничуть не сомневается в том, что его дело -- настоящее и что отечество даже обязано ему благодарностью за то, что он жертвует своим капиталом на общую пользу, и хотя действует из личных выгод, но зато дает другим хлеб, оживляет "мертвые местности" и капиталы, как пишут в газетах (с которыми Иван Кузьмич частию знаком), капиталы, которые, по словам газет и по убеждению Ивана Кузьмича, бог знает сколько времени лежали бы без движения, если бы он, Мясников, не приложил к ним своих рук. В этом убеждении Ивана Кузьмича укрепляет общественное мнение, мнение печати и та действительная нищета, среди которой его капиталы, его хлеб -- действительно благодеяние. Вот почему взгляд его прям и прост, вот почему ему нет надобности ни вилять, ни бояться: он действует на законном основании. И нет поэтому Ивану Кузьмичу никакой надобности тащить к местному образу пудовую золоченую свечку, чтобы тем успокоить свою совесть, -- совесть эта покойна, потому что Иван Кузьмич "дает просто оборот своим капиталам", а это не запрещено, и в писании ничего грозного на этот счет не сказано. Вот почему и причт того прихода, к которому принадлежит Иван Кузьмич, уж и не ждет от него никакого финансового поощрения, раз навсегда решив, что тут много "не пообедаешь", "не разъешься". Действуя на законном основании, Иван Кузьмич совершенно покоен и с этой стороны, зная наверное, что его никто не посмеет тронуть: на все у него есть патенты; везде заплачено что следует; без заискивания, без страха, не с заднего крыльца, не тайком в темном углу сунуто, "дадено" в руку, а прямо "заплачено" "что вам следует", и благодаря этому начальство не только не может принять относительно его той угрожающей позы, в которой оно постоянно фигурировало пред купцом старого типа, но по примеру духовенства знает, что тут "больше не ухватишь", и держит себя в почтительном от Ивана Кузьмича отдалении. Словом, сознание, что капитал -- сила, что прятать его в сундук -- глупость, что делать на этот капитал оборот, что покупать и продавать можно решительно все, что продается и покупается, что получение барыша тоже вполне разрешено и допущено, -- все это проводит резкую границу между старомодным купцом и купцом нового типа и делает последнего спокойным, уверенным и не боящимся ничего ни здесь, ни там.

И вот, вместо того чтобы по старому обычаю, отправляясь в дорогу по делам, отслужить с водосвятием напутственный молебен, как это делал прежний купец, когда ехал за гнилым товаром в Москву; вместо того чтобы дать окропить себе лицо и окропить внутренность кибитки и даже внутренность шапки ямщика, Иван Кузьмич, в качестве "нового типа", кладет в карман шестиствольный, заряженный шестью пулями револьвер и совершенно спокойно отправляется "оживлять" мертвые места и капиталы, отправляется в глубину русской глуши, где этих капиталов везде лежат непочатые углы, совершенно недоступные для купца старого закала.

И, словно сказочный богатырь, наделенный непомерною силою денег, Иван Кузьмич начинает буквально двигать горами. Прикоснется он с своими капиталами к дремучему темному бору, грозно шумевшему тучам и грозам: "вороти назад, держи около", и с материнской заботливостью дававшему приют тысячам зверей и птиц, и -- глядишь, в две-три недели после появления в этом лесу Ивана Кузьмича -- лес исчез, и уж больше нет этого дремучего богатыря! Разбежался зверь; с шумом, карканьем и плачем разлетелись птицы, и остались одни бревна, кое-где придавившие зайца, спасавшегося бегством, поленницы дров, брусья. А скоро и это исчезнет отсюда, и останется голое, изрытое место да деньги в кармане Ивана Кузьмича, какие-то разноцветные маленькие бумажки, которые тотчас вновь идут в дело, и -- глядишь, где-нибудь в другом глухом уголке идет стон и рев, и рекою льется кровь быков, свиней и овец... Стадо превращается в мясо, в

солонину, в сало, в шкуры, в пуды, в фунты -- и все это скоро исчезает, уезжает на скрипучих возах, оставив после себя пустое пастбище да бумажки разноцветные в кармане Ивана Кузьмича, тотчас идущие на какое-нибудь новое дело... Но какого бы рода дело это ни было, всегда что-то очень похожее на опустошение, на исчезание, на смерть чего-то, что было и чего не стало, остается по приведении этого дела к окончанию. Надо отдать справедливость твердости характера и нервов Ивана Кузьмича; он никогда почти не испытывал этого ощущения смерти -- ни тогда, когда, треща и крича испуганными птицами и не хотевшими сдаваться топору стволами, падали тысячи деревьев, ни тогда, когда под ножом умирали тысячи быков, тысячи рыб, ни тогда, когда тысячи других тварей, оставленных живыми, с ревом, хрюканьем или беспомощным блеяньем, битком набитые в вагоны, крепко-накрепко запертые, увозились на убой неведомо куда. Все это было для него: триста двадцать пять сажен дров, пятьсот пудов сала и столько-то голов скота. Покончив со всеми этими еще недавно живыми саженями и пудами, он чувствовал только усталость, утомление и убеждался, что деньги достаются не даром, что труда он кладет в них много и что прозвища "благодетель", "кормилец", которые иной раз приходилось Ивану Кузьмичу слышать в оживляемых им глухих местах, "пожалуй что" и справедливые прозвища.

И в самом деле, как в сущности ни проста система оборотов капитала, которой придерживается Иван Кузьмич, как ни прост прием обогащения, основанный на том, чтобы в корень извести все, что произвели природа или чужие руки, как ни просто, проглотивши этот многолетний труд природы и человека, положить потом себе в карман чистые деньги, но условия жизни глухих мест бывают иной раз таковы, что и такая система действия, такая голая купля готового добра, такое бесследное уничтожение естественных и трудовых богатств могут, поистине, считаться благодеяниями, а Иван Кузьмич -- действительным благодетелем...

В самом деле, что такое было, например, в деревне Распоясове, где теперь властвует Иван Кузьмич и куда он теперь едет, прежде нежели появились в ней капиталы Ивана Кузьмича?

III

Лет шестнадцать, семнадцать тому назад вся "округа", ныне облагодетельствованная Иваном Кузьмичом, смело могла быть причислена к одной из самых обыкновенных на Руси глухих местностей... Поля были бесконечные, оживленные только скачущими галками и воронами или фигурой крестьянина с сохой, издали весьма напоминавшего собою тоже ворону. Лес, темневший по окраинам этой холмистой равнины, был лес глухой и дремучий; летом, в самый разгар полуденного зноя, в глубине этого леса чувствовалась прохлада, пахло влажной землей, и нога вязла в грудах сгнившей и тоже влажной листвы. Солнцу было трудно проникнуть сквозь густую чащу ветвей и листьев, и только иногда луч его, как алмаз, блестел где-нибудь на поверхности быстрого ручья, гремящего по оврагу, совершенно затерявшемуся в обильной растительности... Глушь и тишина царствовали здесь поразительные; лес стоял словно в заколдованном сне. Привольно жилось здесь зверю и птице; великое множество было здесь кустов с ягодами; великое множество рыбы сновало в быстрой речке... И никто не прикасался к этим сокровищам, и никто, казалось, не вспоминал и не думал о них... Раз или два в течение двух-трех лет, в летнюю или осеннюю пору, удавалось кой-кому увидать выбегающего из лесной чащи сеттера, и по этой собаке догадывались, что барин воротился из-за границы и охотится в своих владениях... Нагнув голову и заложив руки назад, рассеянно бредет он вслед за обезумевшей от обилия дичи собакой и о чем-то, по-видимому, скучает, о чем-то крепко думает; ружье лениво болтается у него за спиной.. О чем же думал барин? Думал он, несомненно, об очень многом, но выходило всегда как-то так, что думы эти ничуть не изменяли печального положения тех мест, где бродил он; несмотря на обилие всего, что росло и жило в лесу и реках, находившихся во власти этого барина, несмотря на громадные пространства полей, -- леса эти, и поля, и реки и после его отъезда за границу (он был болен) оставались в том же забвении; кое-где среди бесконечных владений его торчали черные, нищенские деревеньки, виднелся тощий скот и тощий человек, носивший уже кличку "вора" и "неплательщика", потому что действительно покушался прорваться в эти дебри за дровами, за ягодами, за рыбой, норовил урвать тайком, а что "следовало" платить -- платил не иначе, как из-под палки.

Богатство стояло забытое, никому не нужное и никому не доступное. У барина пропадал аппетит охотиться в лесу, где каждый выстрел попадал в цель, -- так было много всякой твари; у мужика не

было дров зимою, и он зяб в разоренных лачужках, выводился со связанными руками из леса, если, конечно, попадался на глаза сторожу, или уходил без ружья, если тот же сторож запримечивал в нем намерение убить тетерьку. Вот в каком виде была распоясовская округа лет шестнадцать тому назад: всего много, и никому нет от этого пользы. Барин скучал, страдал меланхолией, мужик бедствовал и тоже терял аппетит жить на белом свете.

Освобождение крестьян сразу покончило с этою обоюдною меланхолией барина и мужика. Как только, благодаря этому событию, что-то такое "отошло" от мужиков к господам, от господ к мужикам, тотчас же и в тех и в других появились первые проблески чувства собственности; как только какой-то кусок леса или поля стал чужим, барин сообразил, что все это -- "мое", и как только увидел это же самое мужик, то и он тоже сообразил, что ведь это -- "наше".

"Мое" и "наше" -- ощущения до такой степени были новыми для меланхоликов и до такой степени оказались кстати как для души барина, так для души и желудка мужика, что аппетит к "моему" и "нашему" стал возрастать не по дням, а по часам -- и у барина и у мужика.

У старинного управляющего распоясовской округой явилась в это время довольно счастливая мысль; оказалось, что места, на которых издавна сидели распоясовцы, как раз подходят под что-то такое, что ежели это что-то "округлить" с чем-то -- как раз вчетверо можно получать доходу более против прежнего. Для этого стоит только переселить распоясовцев куда-то в другое место, где им все под стать и "еще лучше прежнего".

Управляющий сообщил этот план барину, и хотя барин долго колебался в своем решении, но проклятый, совершенно прежде неведомый аппетит к "моему" довел его, наконец, до того, что он как бы прирос к сознанию, что это -- его собственность.

"Ей-богу же, ведь это мое!" -- стало все чаще и чаще думаться ему среди всяких соображений за предложение управляющего и против него, и наконец, уехав за границу, он написал из Лозанны управляющему, чтобы он действовал как знает, "как лучше".

Управляющий принялся за дело, "наши" тоже ощетинились, началась свалка.

Сильно ощетинились "наши". Жажда свалки и победы, имевшей целью, как уже сказано, удовлетворение весьма простых стремлений желудка, усиливалась теми мечтаниями насчет лучшей жизни, которые тоже как бы пробудились в момент освобождения. Эти мечтания были неопределенны, вырастали под влиянием рассказов древних беззубых стариков о старине, пополнялись нравоучениями прохожего богомольца, беглого солдата, но, благодаря почти непроницаемой темноте крестьянской избы во время сумерек, когда, "сумерничая", мужик обыкновенно слушал эти рассказы солдат и богомольцев и предавался мечтам, мечты эти, хоть и неопределенные, уносили его мысли высоко-высоко и далеко-далеко от крестьянской избы... Так далеко, что, начав песню над ребенком, в которой говорилось, что понева, лежащая под ним, "поневочка худая, ровно три года гнила", и заслушавшись рассказов и замечтавшись, крестьянка бросала этот грустный мотив и, обращаясь к ребенку, почти с уверенностью говорила: "вырастешь велик, будешь в золоте ходить..." Таковы были вполне несбыточные мечты распоясовского мужика, воспитанные темными, угрюмыми зимними вечерами; они до такой степени подняли дух распоясовских обывателей, что обыватели эти решились в предстоящей битве не жалеть своего добришка, так как, думали они, "наше дело верное!"

-- Распоясывайся, робя! -- галдели они. -- Не жалей! втрое воротим... Вынимай кошели-то! Эй, старик! Что у кого есть под печкой -- волоки... Обчисво!.. Надо в город посылать человека верного. Дедушка Пармен! Постой за мир! Расправь кости, обхлопочи!

-- Пожалейте меня, православные! -- говорил дедушка Пармен, восьмидесятилетний старец. -- Ох, натерпелась моя спинушка!

-- Уважь сиротские слезы! -- надвигались на него распоясовцы. -- Кто окромя тебя имеет в себе ум? Мы -- народ черный, путем света не видали. А ты изжил век, стало, все как по писаному видишь... Постой за наши животы! Дед, а дед! Побойся бога, не дай в обиду!

-- Ох-о-ох, пожалейте мою древность ветхую, детушки! о-о-ох-ох...

-- Дед! Пармен! -- вопияли распоясовцы: -- али тебе крестьянского разоренья не жалко? Чисто все помрем...

Долго ревела толпа и долго, обливаясь слезами, оборонялся от нее старый дед, но наконец-таки сдался.

-- Н-ну! -- сказал он, выпрямившись и осушив глаза решительным движением мозолистой, корявой руки. -- Коли так, так, стало, божья воля мне потерпеть еще на старости лет!

-- Авось бог, наше дело чистое!..

-- Видно, уж господь, батюшка Никола-милостивый так осудил меня венцом -- иду!

-- Дай тебе господи! Пошли тебе царица небесная! -- голосила воодушевившаяся толпа.

-- А что деньги дадите, так я единой копейки не покорыстуюсь...

-- Дед! Дед! Грех тебе, старому, этак-то говорить, -- упрекали его распоясовцы: -- такие слова про своего брата. Делай по своему уму, как тебя господь вразумит... Ступай с богом, постой за своих!

И вот старый дед, с котомкой за плечами, с длинной палкой в сухой руке, неровною поступью худых тонких ног, обутых на мирской счет в новые лапти, пошел "воевать" за правое дело. Давненько-таки, признаться, он не бывал' в городе, с тех самых пор, как сорок лет тому назад сидел в городском остроге, из которого и пошел прямо в Сибирь. А после Сибири, когда по манифесту ему вышло прощение, он не показывал в город и глаз и отвык от всех городских порядков. А порядки с тех пор шибко изменились; подьячий, который, взяв взятку, делал в прежнее время то, что хотел, то, что выходило по деньгам, вывелся. Пармену оставалось одно: положиться во всем на бога, на его милость и указание. Для большего успеха в своем деле он не ел, не пил по целым дням, желая постничеством угодить богу, а мирские деньги ревностно раздавал тем, кто обещал постоять за распоясовцев, причем он слезно плакался и умолял не погубить... Но в то время, когда старец Пармен постился и слезно плакал перед лицами, бравшими его деньги, как-то незаметно пропускались очень важные сроки к подаче прошения, к выслушанию решения, к изъявлению несогласия, к апелляции в законный срок! Пропускались эти маленькие пустячки потому должно быть, что Пармен не знал их, не мог о них упоминать и в молитвах, или потому, что кому-то, знавшему эти штучки, выгодно было молчать о них перед темным мужиком. Таким образом, выходило как-то так, что едва Пармен, возвратившись из губернии, объявлял миру, что все -- слава богу, что приказано ждать "тайного чиновника", который все повернет против "их", являлся исправник или становой и объявлял, что:

-- На основании тома, статьи и на основании статьи... тома... уложения... и по случаю пятнадцатого примечания к тому... статье... и параграфу... определено: объявить крестьянам деревни Распоясово, что просьба их возвращается без последствий за пропущением срока и "постановление" входит в законную силу...

Так как во время отсутствия Пармена крестьяне тоже возлагали надежды на бога, а убеждение в правоте своего дела основывалось у них исключительно на мечтаниях в темные осенние и зимние вечера и ночи, то, не понимая путем того, что читал приехавший чиновник, они догадывались однако, что в бумаге нет ничего насчет того, чтобы все "повернуть к ним", как обещано, и поэтому говорили, что эта бумага "не та", что подписывать ее не будут...

-- Согласу нашего нет! -- говорили они.

-- Несогласны?

-- Никак нет. Эта бумага фальшивая, наше дело правое. Дедушка Пармен, так аль нет?

-- Фальшивая, детушки, бумага! Не она! не наша! Ступай ты, барин, с ней откуда пришел!

-- Так несогласны? -- переспрашивал приезжий.

-- Будет зубы-то заговаривать! -- отвечала толпа. -- Бери ее себе, бумагу-то... а нам она не нужна! Подделка!

Приезжий все это вносит в протокол, причем Пармена расспрашивают особенно подробно, и затем, написав все это на нескольких листах, отправляют по назначению. Распоясовский мужик везет эту бумагу куда следует и погоняет лошадь. На распоясовских лошадях уезжает и чиновник. Распоясовцы не знают, что, пропустив по своему невежеству сроки, они впутались еще в новое дело. Напротив, после этой "фальшивой" бумаги они как будто ожесточаются относительно размеров жертв, которые нужно принести за свое дело правое.

-- Ну-ну, робя, распоясывай! Распоясывайся, миряне! Закипают дела, не жалей, покоряй их своими животами! Неужто так пропадать?..

-- Зачем пропадать? Последнее надоть отдать, а не токмо что...

-- Дедушка Пармен, постой и во вторительном подвиге! Окроме тебя кто же?

-- Ты уж ходил -- знаешь!

-- Приму свою кончину за свое племя!.. Собирайте в дорогу!.. Отдаю вам свой живот, только молите бога о грехах моих... Может, это от грехов моих бумага офальшивилась против нас... Прощайте, православные!.. Простите -- чем обидел!

И вновь отправляется Пармен, еще более длинный, еще более худой, вновь принимается молить бога и поститься и, увы! не возвращается. Отыскивать Пармена берется дьячков сын, служивший уже в каком-то присутственном месте в губернском городе и знающий, по его словам, все порядки. Он вызывается ехать в город, обещается сделать все скоро и дешево: мир, подумав, дает и ему денег, но не пускает его одного, а наряжает в спутники ему мужика, из своих, так как человек этот хоть и мастер в бумажных делах, в переписке и отписке, но давно уже известен всему Распоясову как пьяница и человек ненадежный. Перед отъездом ему рекомендуют вспомнить бога и поминать о сиротских слезах... и т. д.

Дьячков сын не жалеет мирских денег -- на взятки и угощения. В нумере на постоялом дворе, где он остановился вместе с мужиком, идет непробудное пьянство несколько дней кряду и такое бесчинство, что депутат и проводник только дивится на господ и "ужахается". Пробовал было он заикнуться о "наших" делах, но дьячков сын, будучи пьян, только обругал его и как будто даже доказал, что дело их давно пропало, что хлопотать тут уж больше нечего и что все давно пошло своим чередом против них. Но наутро он оправился и отпустил мужика домой, сказав, что он, дьячков сын, останется ждать в городе какой-то бумаги, в которой именно и будет сказано все, что следует...

И опять идет бумага, и опять везет ее становой, и опять в бумаге что-то как будто "не так". Оказывается, что в то время, как они галдели с дядей Парменом о вторичном его путешествии, и в то время, как пьянствовал в городе дьячков сын, "истек" еще какой-то срок, день или час, в который можно бы было что-то сделать, а после которого уже решительно "все пропало".

-- И поэтому говорю вам по чести: сделайте переселение добровольно, -- прибавил становой. -- Это будет вам выгоднее: если же вы будете продолжать упорствовать, то -- и т. д.

Несмотря на полную справедливость того, что говорил становой пристав, распоясовцы видели, что это -- вовсе "не то", что им нужно, и опять не дали "согласу".

-- Так несогласны?

-- Никак нет! Согласу не даем!

-- Не подписываете?

-- Храни бог греха...

-- Но ведь ваше дело проиграно?..

-- Это -- не та бумага!

-- Фальшь!..

-- Как твоя фамилия? Кто это сказал "фальшь"? выходи сюда: кто ты таков?

-- Братцы! Не выдавай!..

-- Что-о-о?..

В шуме и гаме пишется новый протокольчик, и новый распоясовский мужик везет его куда следует, погоняя лошадь. И становой уезжает тоже на распоясовских лошадях.

Эти два неожиданные удара, эти две бумаги, так жестоко обманувшие надежды распоясовцев, так много поглотившие денег, разрушившие так много мечтаний, в первую минуту до того потрясают распоясовцев, что они не знают, что делать. Нет у них никого, к кому бы обратиться, узнать -- как быть: дьячков сын пропал, Пармен пропал, никто ничего не знает. Старшина гнет на "ихнюю" сторону, в сторону фальшивой бумаги. Что тут делать? "Да неужто нет правды на свете?.. Время теперь не прежнее!.." И как только эта мысль о правде вступает в головы распоясовцев, остолбенение их тотчас же заменяется жаждою борьбы в сотни раз сильнейшею той, которая двигала ими в первых двух попытках.

-- Али правды нет на свете? -- гремит "коновод", вдруг взявшийся незнамо откуда. -- Подымай, ребята, последними животами!.. Все одно помирать!

-- Выпускай последний дух!.. Авось сыщется правда-то!..

-- Бог-то на небе, чай, есть!

-- Оскребай, ребята, что есть! Н-но! заодно!

Этот момент в жизни распоясовцев был полон таким удивительным самоотвержением, какое бывает только в самые решительные минуты. Выворотив все, что "оставалось", "выпустив

последний дух", распродав "коровенок, овчонок", распоясовцы стали доходить до Москвы, которая казалась им выше губернского города, стали доходить в Петербург, после того как Москва "просолила дело". И когда в Петербурге тоже оказалось что-то плохо, то, воодушевившись мыслию, что Петербург сошелся не клином, стали распоясовцы достигать до сената и т. д., пока не уперлись в пересылочную тюрьму. Оставшиеся дома распоясовцы ждали результатов с непоколебимым терпением. Не было случайно проходившего или проезжавшего чрез их деревню человека, к которому они не адресовались бы с расспросами о своем деле и не совали бы ему поросенка, чтобы он сказал все, что знает. Сами они не знали ничего.

-- Где у вас бумаги? -- спрашивал заинтересовавшийся проезжий.

-- Бумаги даны Пармену.

-- А Пармен где?

-- В губернии.

-- А где такая-то бумага?

-- Дьячков сын, Антилкин, взял.

-- Где же он?

-- Неизвестно...

-- А такая-то?

-- А такой и не было.

-- Должна быть!

-- Может, у Пахомки... У Пахомки нагдысь оглядел я бумагу.

-- Как у Пахомки? у Радивона! Радивон сказывал, говорит, у него вишь!

-- У Радивона воспяная бумага, эво ты! Припущать оспу...

-- А може...

-- Так нет бумаг?

-- Бумаг у нас, надо говорить прямо, нету!

-- Ну, так ничего и нельзя делать!

-- Ничего?

-- Ничего нельзя!..

Таков был большею частию ответ всех, кто понимал дело или хотел понять его. Всякий раз распоясовцы после таких расспросов становились грустнее и всё больше и больше чувствовали железную силу незнания и бессилие разорвать эту паутину "сроков", "просрочек", "апелляций", "кассаций", "скопий". Спасибо, большое спасибо прохожим богомольцам, отставным солдатам и прочему захожему люду, тоже, как и распоясовцы, не понимавшему в этом деле ровно ничего. Те всегда говорили, что их дело верное, что повернуть его можно как угодно, что стоит только дойти куда выше, а там только черкнут и сразу перевернут всю округу. Солдаты особенно ярко представляли возможность успеха. Они сами бывали в Петербурге и видели всё и знают, "а что ежели становой там что-нибудь, так в Петербурге становые продаются по грошу пара!" Точно сахар, вести эти расплывались по сердцу распоясовцев... Однажды Мирон Петров, распоясовский мужик, ездивший к Троице-Сергию, привез подобную же весточку и от питерских ходоков, которых он, впрочем, не знал, а слыхал, что на станции одному купцу кто-то сказывал, что вышло распоясовским "в пользу", а купец все это рассказал Мирону, да и купец-то какой-то незнакомый...

"Должно, добер купец-то!" -- думали распоясовцы.

Но покуда шли эти расспросы, рассказы, покуда распоясовские мужики медленно шли и перевозились по этапу домой, сроки все были пропущены окончательно и безвозвратно, и при наступлении осени уездный исправник, явившийся в деревню на тройке собственных лошадей, с колокольчиком и бубенцами, очень коротко и просто объявил, что с завтрашнего дня распоясовцы должны переселяться.

Он прочел им все бумаги, которые когда бы и куда бы то ни было подавали распоясовцы, прочел решение по этим бумагам, прочел решение по бумагам петербургских ходоков и повторил, что после всего этого разговаривать нечего. Если же, прибавил он, распоясовцы по-прежнему будут упорствовать, то переселение будет сделано полицией на их счет, что рабочих теперь -- сколько угодно, потому что -- осень.

Распоясовцы ничего не понимали.

Исправник растолковал им опять дело с начала и до конца; они все-таки не могли понять ничего.

И в третий раз было все им разъяснено и доказано. И в третий раз они не понимали и не верили.

Очнулись они только тогда, когда им предложили подписать что-то. Тут они опять увидели "фальшь" и подписать отказались.

И опять три раза было, как по пальцам, рассказано все дело, и опять предложено подписаться, и опять они не тронулись с места и "согласу" не дали.

Составлен был третий протокол, и третий распоясовский мужик отвез его, погоняя лошадь, куда следует.

Предложение "подписать", напоминавшее распоясовцам два таких же "фальшивых" предложения, и изворотливость, с которой они отстояли "свои права" и не подписали их, на некоторое время было оживило их и воскресило некоторую надежду, что еще будут добрые новости, что вот-вот придут петербургские ходоки, что вот-вот приедут какие-нибудь "особенные" чиновники и повернут все дело по-свойски. Но на следующий день, с восходом солнца, восемьдесят человек народу, собранного со всех окрестных деревень, пришло в Распоясово.

-- Вы что, ребята? Здорово! -- спрашивали распоясовцы.

-- Здравствуйте! Да вот нанялись...

-- На пересел, вишь, сгоняли...

-- Али это нас разорять пришли?

-- По делам так, что вроде как -- вас!

-- Ни-ча-во!

-- Нам что же? Восемь гривен в день!.. Суди сам!

-- Цена хорошая!..

-- Наше дело, сами знаете, чай...

-- Так-то так! По восьми гривен?..

-- По восьми...

-- Шабаш, значит!..

Это событие сразу разрушило все распоясовские надежды. В довершение беды скоро вслед за рабочими приехал исправник и подтвердил, что рабочие наняты на счет распоясовцев, и если поэтому распоясовцы добровольно не исполнят того, что следует им исполнить, то рабочие сейчас же приступят к делу.

Минута была тяжелая для распоясовцев. Надежды и мечты были разрушены окончательно; они ничего не могли сообразить в виду очевидности их неудачи, и, вместо того чтобы негодовать, шуметь и буйствовать, чего так ожидал исправник, они совершенно ослабли духом, отчаялись, впали в глубоко-упорную апатию. "Помереть!" -- было единственным желанием почти всех распояеовцев, а фразою: "нам легче помереть" -- они отвечали на новые бесконечные доказательства безрассудности их упорства и окончательно проиграли дело.

Истощив все усилия в борьбе с этим окаменелым состоянием народа, исправник скомандовал наконец:

-- Ломай!

Рабочие принялись за дело.

Три недели шла ломка распоясовских дворов; три недели над деревней стояла пыль густым облаком от развороченной соломы крыш, разломанных печей; три недели от Распоясова тянулись возы с бревнами, с рамами, с досками от крыш, с оторванными дверями и проч. и проч. Исправник ходил весь черный от пыли и еле таскал ноги от усталости. Он совершенно охрип, так много было работы.

Распоясовцы молча, словно каменные статуи, смотрели на это разрушение. Они действительно как бы окаменели, ничего не ели, не слыхали и не видали.

-- Прими ребенка-то, сумасшедшая! -- кричал исправник распоясовской бабе. -- Ведь убьет! Дура этакая! видишь, стропило падает!..

Баба стоит и не слышит, и только бог спас ребенка: стропило упало рядом с ним.

-- Ишь! -- буркнул распоясовец, глядя, как бревно проносилось над ребенком.

В другом месте никто не тронулся с места, когда среди разрушающегося дома раздался раздирающий женский крик. Оказалось, что там лежала беременная женщина в последних муках...

-- Православные! -- обращались рабочие к распоясовцам: -- помогите старичка снять с печи, что вы столбами-то стоите? Дьяволы этакие!

И на это приглашение никто не отвечал: всем было "все равно", все были словно каменные.

Чрез три недели Распоясово представляло такой вид: груды содранной с крыш соломы валялись на тех местах, где прежде были дома, амбары, сараи; от домов остались завалинки, от погребов -- ямы, от сараев кое-где торчали столбы. И среди этих груд соломы без призора бродила скотина, тщетно взывая к какому-нибудь вниманию хозяина; в этой же соломе возились дети и спали родители, не раздеваясь и не переменяя белья и одежды с первого же дня разорения деревни. Что они ели? отвечать трудно; хлеба они не сеяли и не собирали. На берегу реки кое-где виднелись вырытые в земле печи, по временам дымившиеся, около которых возились женщины.

Распоясовцы не шли на новые места и держались по-прежнему убеждения, что "лучше помереть".

Настали осенние дожди... Распоясовцы сказали себе:

-- Ну, робя, тепериче чистая приходит наша смерть! Отдавай, ребята, богу душу... Помирай!

И все-таки не шли с старых мест. Вместе с больными ребятами мокли они в мокрой соломе, в ямах, оставшихся после погребов и выломанных печей.

И действительно стали помирать...

Наконец всех их отдали под суд.

IV

Пропустивший "сроки" распоясовец ослаб духом совершенно; он очевидно потерял все; он очевидно не знал, в чем дело, был дурак, невежа, и это сознание своей глупости отозвалось в характере распоясовцев полным презрением друг к другу. Они, как собаки, грызлись и вредили друг другу на новых местах; всякому было отвратительно видеть в другом набитого дурака, который, из-за своего невежества и дурости, разорился сам, да и других разорил. Поэтому при следствии "об упорстве и неисполнении и т. д." -- они валили всё друг на друга: валили на Пармена, на всех, кто первый кричал: "постоим за свои животы", "подымай, ребята, своими животами", и на всех, кто "первый" отдавал эти животы...

Закончив долголетнюю историю своего терпения и бедности сознанием своей глупости, ничтожества, такого ничтожества, которое может быть во всякое время выкинуто вон как сор, распоясовец чувствовал внутри себя полный разгром, разврат и стал пропивать все, что осталось, стал воровать, изнаглел до того, что прямо подходил к проезжему купцу и говорил:

-- Ну что ж, купец, давай на чаек-то?

-- За что?

-- А за разговор. Мало тебе этого? Вынимай-ка желтую-то бумажку!

И вот в такую-то минуту нравственного падения, грозившего потопить распоясовца в море самой крайней нищеты, однажды по осени, в самое трудное для распоясовцев время, когда приходилось вносить недоимки, в маленькой тележке, запряженной добрым меринком, появился Иван Кузьмич, вместе с управляющим. Они, очевидно, объезжали и осматривали "округу". Меринок шел свободно и весело по дороге, Иван Кузьмич просто и прямо оценивал: "что чего стоит", и скоро стало известно, что "купец снял" у барина "все" -- и лес дремучий, и реки, и поля, все -- все до нитки. Скоро новораспоясовцы узнали, что и их Иван Кузьмич "тоже снял", всех до единого: "полтина в сутки пешему и рубль конному"; "кто хочет *по этой цене* идти на станцию за пятнадцать верст принять оттуда паровик -- иди".

Такова была прокламация Ивана Кузьмича к народу.

"Человек-полтина" -- вот суть теории, принесенной им в распоясовскую среду. Тут не предполагалось никаких рассуждений о том, что -- наше, что -- ваше. Насчет каких бы то ни было "правов" тут разговору быть уже не могло. Просто: хочешь полтину -- иди, не хочешь -- не надо. Все это потерявшему внутренний смысл распоясовцу было как нельзя лучше по душе: у него после полного нравственного разгрома оставались целыми руки, ноги, мускулы и желудок. Иван Кузьмич только того и требовал, назначив желудку полтинник в сутки и самое главное -- водку.

-- Повезем, ребята, -- говорили его приказчики, окликая распоясовский народ: -- повезем *одной водкой!*

-- Дай вам бог за это!.. -- кричали распоясовцы.

-- Насчет водки не робей: сколько хошь пей, только дело делай.

-- У нас вот как дело закипит -- ключом! И действительно скоро закипело дело. Тысячепудовое чудовище, наконец, приехало из Москвы на станцию железной дороги и, окруженное массою распоясовского народа, тронулось оживлять мертвую округу. Широко разинуло оно свою нелепую железную пасть, как бы грозясь поглотить всю эту благодать, которая открывалась перед нею, всю эту рвань, которая копошилась вокруг нее. Медленно и грозно двигается оно вперед. То затрещит и рухнет под ним гнилой мост, то застрянет оно на крутом подъеме. Визг кнутьев по ободранным, обезумевшим от усталости лошаденкам, оранье обезумевших от водки распоясовцев, оранье хриплое и изо всех кишок, оранье, переполненное ругательствами, бранью, песнями, целою тучей висит над этим чудовищем, и оно кой-как вылезает из ямы и идет дальше. То вдруг, на крутом повороте, когда разойдутся и лошади и люди и с гиканьем мчат его вперед, оно вдруг свернется на бок и растянется на пашне, раздавив под собой и дядю Егора, и дядю Пахома, да Микишку, да Андрюшку... Долго лежит тут душегубец-чудовище, ожидая судебного следователя и следствия, и полчище распоясовцев долго, несколько дней подряд пьянствует, ругается друг с другом... Много разбитых в драке во время этого продолжительного безделья лиц, совершенно черных шишек у глаз, запекшейся крови на висках видно в то время, когда чудище снова трогается вперед, и снова выбиваются из сил лошаденки, хлещут кнуты и пьяное оранье наполняет воздух.

Кое-как этот "человек-полтина" дотащил чудовище до места, до быстрой речки, пробегавшей в лесу, которого теперь почти уже не было... Масса распоясовцев, превращенных уже в "полтинники", сводила его самым усердным образом, превращая в сажени, в срубы и т. д. С треском валились деревья, громко разносились песни, звон пил и стук топоров, и вечером, когда все это замолкало, начинал гудеть и дрожать от плясу, брани и драки выстроенный Иваном Кузьмичом из этого же лесу кабак.

-- Голова только наш Кузьмич, братцы! -- охмелев, бурчал распоясовец. -- И-и башка!

-- Довольно чисто поворачивает делами, надо сказать прямо -- себе имеет пользу, да и нашему брату способно.

-- Хлеб дает бедному, во-от! -- прибавлял третий.

-- Ав-вось, не помрем, налей-ко еще стаканчик!

-- Во-ота! Еще то ли будет! Сказывают, взрывать все хочет начисто... Деревянный камень какой-то есть... Наливай!

-- Эх, ребята, попьем, погуляем!.. Денежки-то вот они... Нового чекану, по старинному счету два рубля... Наливай, наливай, друг!

-- Уж и мне, старухе, стаканчик, пожалуй что, придется с вами, с молодцами, выкушать... И у нас Кузьмичовы есть деньги, три пятака, пожалуй что полтина -- чего ж и не погреться старухе?

-- Пей, старуха! у Кузьмича денег много!.. Пойдем деревянный камень рыть, всё воротим. Наливай!

И действительно, после того как исчез лес, Иван Кузьмич напал на камень и стал рыться за ним в глубь земли, таскать его оттуда и продавать до тех пор, покуда не вытаскал весь и покуда вырытые им пещеры не обвалились и не задавили несколько десятков человек. Тогда оказалось, что и железа в этих местах видимо-невидимо! Иван Кузьмич принялся за железо. Рыл, вывозил и продавал, а деньги возил в банк и получал книжки чеков.

Вот что мы знаем об этих книжках, которые он почти каждый год привозил с собою из города. Много ли впитали они в себя добра? Об этом пусть судит читатель.

V

...Иван Кузьмич только вечером того дня, когда получил в городе последнюю из своих книжек, доехал до своего местопребывания, в распоясовскую округу. Ярко горели окна фабрики, где дымил и свистал чудовище-паровик. Шумела мельница, стучали толчея и крахмальный завод. Иван Кузьмич все скупал, все молол, толок и продавал. Тысячи народу копошились на фабрике, на заводе. Сюда была согнана вся распоясовская округа -- по рублю, по полтиннику, по четвертаку, и даже самые маленькие мальчики и девочки могли зарабатывать по гривеннику в день, занимаясь

щипаньем корпии, которую доставляли из больниц в гною и крови и которая шла на бумажный завод. Все было поставлено к делу и оценено.

Иван Кузьмич жил в центре этого поселка, в маленьком домике, с окнами на вое четыре стороны, из которых было видно все, что ни делалось вокруг него.

Когда он вошел в свой домик, в комнате было жарко натоплено, и на столе уже кипел самовар. Он не был женат, но прислуга у него была ловкая, знающая, с кем имеет дело.

Иван Кузьмич напился чаю. Пил он его долго, часа три, расспрашивал про то, что было без него. Все, оказалось, обстояло благополучно...

По окончании чаю Иван Кузьмич прилег.

Все было, кажется, хорошо, а чего-то -- это Иван Кузьмич чувствовал постоянно -- как будто ему и недоставало. Несколько раз мысли его останавливались на женитьбе. Но, подумав хорошенько, он находил, что это -- чистая глупость... Поэтому-то и теперь он решился отделаться от скуки так, как отделывался обыкновенно.

-- Иван! -- сказал он как-то серьезно.

Явился лакей.

-- Что на толчее?

-- На толчее ноне плохо, Иван Кузьмич.

-- Как плохо?

-- Всего две бабы, и то старухи... Вот на мельнице -- есть.

-- Кто такая?

-- Андронова -- из Больших Озер.

-- Ну, хорошо...

-- Муж с ей...

-- Сунь ему зеленую!

Лакей с улыбкой вышел вон и отправился на мельницу.

Все это еще недавно была вещь вполне невозможная. Но после того как человек стал ценится в рубль, в полтинник -- и полтинник и рубль стали всё!

-- Иди-иди, любезная!.. Торопись, матушка! Потаскай-ка вот этакую пасть с собой -- узнаешь, каково они сладки, платки-то красные да мелочь-серебро...

Так говорила какая-то женщина с ребенком на руках, проходившая мимо дома Ивана Кузьмича в то время, когда вслед за его лакеем бегом вбегала по ступеням крыльца какая-то женщина.

-- О дуры, дуры набитые! -- вздыхая, говорила женщина с ребенком. -- Одной есть нечего, а тут и другое горло таскай... Чай, он отцом-то не хочет быть...

Слово "он" относилось к Ивану Кузьмичу. Ребенок апатично смотрел через плечо матери куда-то вдаль.

Что ждет его?

Никаких золотых нарядов, которые сулила своему сыну размечтавшаяся крестьянка, фабричная женщина сулить не может; она знает, что цена ее мальчонке долгое время будет гривенник, потом двугривенный и так до рубля, а уж дальше ничего, ничего не будет! Сама она про себя знает, что цена ей ничтожная, что хватает только кормиться... Что же она скажет своему мальчишке? Что же может выйти из него кроме человека, который нужен в делах Ивана Кузьмича -- как сила, как дрова, как тряпки?.

Неплательщики

I

Для полной последовательности в изложении истории распоясовского кармана, с древнейших времен до настоящего времени, необходимо было бы, тотчас за рассказом о появлении в распоясовских палестинах Ивана Кузьмича с его теорией оборотов капитала, начать рассказ о появлении в тех же местах новой питательной железнодорожной ветви, так как "Иваны Кузьмичи" и "питательные ветви" составляют между собою неразрывный союз и друг без друга решительно

не могли бы существовать. Иван Кузьмич потому только находит выгоду рубить, копать, рыть, пилить и вообще опустошать распоясовокое добро, что железная питательная ветвь тотчас же, в мгновение ока, может за тридевять земель унести все это выкопанное, расколотое, распиленное, поваленное на землю и вывернутое с корнем из земли... Точно так же и новая питательная ветвь потому только не занесена сугробами, что с каждым днем растет количество Иванов Кузьмичей, а стало быть, и количество нарубленного, вырытого, распиленного, словом, количество опустошаемого, или, говоря газетным языком, "количество грузов". Не будь дороги, Иван Кузьмич не стал бы рубить и рыть: куда бы он девался со всем этим добром?.. Не будь Ивана Кузьмича, что бы взяла железная дорога с распоясовского населения, у которого нет почти ничего, кроме белого, довольно кислого квасу? Неразрывность связи питательных ветвей и Иванов Кузьмичей подкрепляется еще и тем обстоятельством, что как одни, так и другие одинаково развивают в раопоясовском населении вкус получать за все чистыми деньгами: "чистыми деньгами" платит Иван Кузьмич за эти дремучие леса, каменные горы, за все эти "недра земли"; за "чистые деньги" тащит он все эти недра при посредстве, конечно, все тех же распоясовских обывателей на железную дорогу, а дорога, нагрузив добычу Ивана Кузьмича в свои новые вагоны, немедленно уносит ее за тридевять земель, оставляя распоясовским обывателям за нагрузку увезенного добра ни много ни мало -- по восьми гривен с тысячи пудов, конечно, "чистыми деньгами" и, конечно, по взаимному соглашению.

Несмотря на крайне юмористический, хотя и вполне действительный размер вышеупомянутой цифры, тот факт, что распоясовский обыватель так или иначе получает "за все", им самим утраченное, восемь гривен серебром барыша чистыми деньгами, этот факт сам по себе уже достаточен для того, чтобы тотчас же со всею обстоятельностью исследовать цели, средства и результаты, имеющие быть от появления в глухих местах новорожденных питательных ветвей. Но, при всем нашем желании теперь же сосредоточиться на этом новом, продолжающем и развивающем теории Ивана Кузьмича явлении, мы не делаем этого сию минуту потому, во-первых, что боимся слишком долго останавливать внимание читателя на одном и том же и притом таком непривлекательном предмете, как мужицкий карман, -- на предмете, сухость и тягость которого еще более увеличивались бы развитием такой трагической подробности, как физиология питательной ветви, а во-вторых, потому, что питательная ветвь, несмотря на свои молодые годы, уже успела ознаменовать себя такими яркими проявлениями, которые невольно охлаждают охоту умиляться перед шестнадцатью пятаками, оставляемыми ею распоясовскому мужику, и невольно заставляют подумать о другом. Чтобы не ходить далеко за такими неловкими проявлениями, упомянем хотя бы о том плачевном факте с этими же шестнадцатью пятаками, по которому оказывается, что, выдавая их распоясовцу чистыми деньгами чрез посредство какого-нибудь начальника станции, питательная ветвь совершенно иными путями, словно и не она, а кто-то другой, извлекает эти шестнадцать пятаков (пятаком больше, пятаком меньше, -- не все ли равно?) в бездонную пропасть своего трехмиллионного бюджета... Факт печальный, но действительный. В ту самую минуту, когда распоясовец, превращенный Иваном Кузьмичом в истинного Лира и затем вновь возвращенный в мужическое звание восемью гривнами, в ту самую минуту, когда этот не король Лир, а Лир-мужик стал было уверять себя, что "вот, мол... по крайности все же деньги", -- в эту-то минуту к нему явился трехмиллионный бюджет питательной ветви и потребовал заплатить за него полмиллиона рублей гарантии... Оказывалось, что, несмотря на все старания Иванов Кузьмичей опустошить отечество, дорога не может покрыть расходов, не может заплатить процентов на те кучи денег, которые нахватали там и сям, приготовляясь обогащаться и обогащать... Трехмиллионный бюджет громко ропщет на распоясовца за то, что он ничего не производит, а умеет торговать только своими "готовыми недрами", которые слишком дешевы и постоянно требуют пониженного тарифа... Оказывалось кроме того, что не понижать

тарифа на эти недра невозможно, так как все, что имел бюджет в виду, кроме распоясовских недр, точно так же обмануло его, и обмануло самым жестоким образом: мука гречневая, мука пшеничная, пеклеванная, ржаная -- словом, все сорта всевозможной муки, на бесчисленное количество грузов которой рассчитывала ветвь, эта бессовестная мука не поехала по ветви... совсем не поехала... На всех парах разлетевшись к той избенке на берегу Волги, где проживала эта мука, красноглазый локомотив новой питательной ветви увидел, что у той же избенки уже светятся десятки красных глаз других локомотивов от других питательных ветвей, приехавшие к избенке тоже за этой мукой. "Где тут пеклеванная? Где тут пшеничная? Где мука ржаная?.." -- орали красноглазые кулаки, а из избенки слышался кашель, и какой-то больной голос едва слышно отвечал: "Как-кая там мука-а!.. Самим нечего... кха-кха... всё дочиста обобрали... кха-а!.. Нету ничаво!.." Как ни орали, как звонко ни гаркали локомотивы питательных ветвей, а должны были убедиться, что нет муки, что какая была, та уж уехала... Посвистал, посвистал и наш красноглазый покупатель, да и поплелся назад, таща за собою в бюджет весьма основательный и тоже "чистый" убыток... То же, что и с мукой, случилось и со всем прочим, что должно было ехать по нашей ветви... Должно было, кроме муки, ехать семя льняное, семя конопляное, семя горчичное, семя сорочинское -- и не поехало. "Какое тут семя-а... -- отвечали с кашлем из избенки на Волге. -- Ступайте отседа... Ну вас... кха!.." Должен был ехать копченый балык, мороженый берш, белорыбица, белуга, лососина, стерлядь... Должны были тучей нестись сухая вобла, окунь, осетер, сазан малосольный и сухой, сельдь иностранная и русская семга, севрюга, сом, малосольная сопа, жерех, судак, тарань, чехонь, шемая... Должны были -- и не поехали! Частью потому, что уж были увезены давным-давно, частью, как, например, вобла сухая, по невежеству: эта неповоротливая тварь прямо объявила, что не поедет в заграничное путешествие, потому, мол, что непригоже копеечной даме объявляться за границей в рубль серебром. "У господ иностранцев, поди, какие свои есть!.." И снова улеглась на берегу Волги вместе с бурлаками, продолжая свою копеечную торговлю и не обращая внимания на то, что трехмиллионный бюджет твердил ей о совершенно готовом и притом пониженном до крайности тарифе на ее перевозку. "Ну уж, что уж!.." -- бормотала тупоумная вобла. И бюджет остался ни с чем. Соображая все эти несчастия бюджета, распоясовец решительно не знал, чем помочь барину: все, что было, увез этот самый барин вместе с Иваном Кузьмичом; прежде были, правда, соленые огурцы, но с тех пор, как прошла чугунка, и солить не на что стало, потому что нет уже заработка извозом. Кроме восьми гривен, которые, дай бог здоровья, дал вот этот самый трехмиллионный барин, у распоясовца не было почти ничего. Эти-то восемь гривен и потребовал барин, прося "честью". Распоясовец знал, что может последовать за выражением: "честью тебе говорю", -- и сказал поэтому: "Н-ну, бог с вами... получай!" Отдал деньги и ушел.

Такой по малой мере неджентльменский поступок бюджета новой питательной ветви сам по себе настолько ярок и весок, что, и не вдаваясь в особенные подробности, можно уж иметь общее понятие о достоинствах такого нового явления глухих мест, как железная дорога... И вот, принимая во внимание как смысл этого нового явления, так и смысл всего, что до него происходило в распоясовских местах, невольно устаешь, утомляешься от непомерно однообразной сути и старых и новых форм распоясовской жизни и думаешь -- кто же те, кто по каплям выпивает эту реку бюджетов, сливающуюся из бесчисленных распоясовских ручейков? Как и чем живут те, кто не рубит, не возит, не пилит, не глупит, как распоясовский мужик, но для которых на потребу идет распоясовский труд, глупость -- всё!.. Счастливы ли, довольны ли эти люди, стоящие у готового, у настоящих "чистых" денег, эти истинные неплательщики, хотя и не недоимщики?

Эти невольно родившиеся вопросы заставляют нас покинуть распоясовский карман, покинуть деревню, перенестись в город и обратить внимание уже не на карман, а вообще на состояние

духа городского жителя, так как всякий город, даже такой крошечный, какой предстоит нам видеть, непременно стоит и держится потому, что через него идет ручеек из общего широкого и глубокого бюджета, и так как, живя на готовое, городской бюджетный человек блюдет несомненно какие-нибудь высшие духовные интересы...

В этих-то видах мы и приглашаем читателя, забыв все беды и радости распоясовцев, последовать за нами в современный губернский город и хоть мельком взглянуть, что у него на душе?

II

Физиономия современного губернского города, как снаружи, так и внутри, -- это нечто такое, что сразу, с одного дня, расслабляет нервную систему и сразу, с одного дня, делает жизнь какою-то досадною путаницею. Путаница явлений, поражающая ваш глаз, наравне с путаницею явлений, поражающей ваш ум, лишает физиономию современного города всякого образа и подобия, образуя вместо какой бы то ни было физиономии нечто неуклюжее, разношерстное, какую-то кучу, свалку явлений, не имеющих друг с другом никакой связи и, несмотря на это, делающих бесплодные усилия ужиться вместе...

Старинный тарантас, запряженный пятериком мухортых лошаденок, как нельзя лучше подходил к глубине той лужи, в которой он обыкновенно застревал и из которой, тоже обыкновенно, вытаскивали его народом; все это вместе, то есть тарантас, лужи, люди с дубинами, как нельзя лучше подходило к широкому постоялому двору, густо застланному мягким навозом и широко распахнувшему свои тесовые ворота выбравшимся из беды путешественникам. Трактир, грязный, темный, как угол, заплетенный паутиной, трактир этот, помещавшийся в верхнем этаже постоялого двора, как нельзя лучше подходил к толстому купцу, пришедшему поговорить с худеньким приказным по кляузному делу, а к обоим вместе как нельзя лучше подходила под стать трактирная машина, гудевшая "Лучинушку" и заглушавшая кляузные разговоры... А в хороший морозный день какую удивительную гармонию представлял обыватель, весело несущий за ногу живого поросенка или гуся и, несмотря на пронзительный вопль животного (которое чует, что люди его сейчас съедят), не упускающий случая приторговывать все встречное и поперечное, -- какую гармонию представлял этот обыватель вместе с хрюканьем и ораньем, со скрипом замороженного снега и с веселым буханьем в большой соборный колокол по случаю парадного дня?.. Гармония во всем этом была полная. Тряпье, дикость, невежество, хрюканье и проч. и проч. -- все это было пригнано и прилажено все к тому же невежеству, тряпью, хрюканью и дикости и, стало быть, не могло не только поражать вашего глаза, но даже ни на волос не обижало его...

Теперь не то.

Гармония подлинного тряпья нарушена пришествием решительно несовместных с ним явлений. Из превосходного вагона железной дороги пассажир вылезает прямо в лужи грязи, грязи непроходимой, из которой никто не придет вас вынуть, потому что машина прошла в таком месте, где отроду не было ни народу, ни дорог... Ощущение гибели, беспомощности вдруг овладевает вами нежданно-негаданно, и с первого же шага нежданность явлений и ощущений уж не покидает вас: в новом суде изо дня в день тянется перед глазами слушателей одна и та же до мелочей однообразная повесть о крайнем убожестве, об убийстве спьяну, о краже спьяну, о краже с голоду, -- повесть о круглой голи, о какой-то маленькой, зеленой копейке, а обстановка этой копейки стоит рубля; на сцену ставят дело о несчастнейшей, беднейшей, забитейшей женщине, которая не помнит, как родила где-то в хлеву ребенка, не помнит, живой он был или мертвый, а только умеет реветь, ничего не в силах будучи сообразить, а на обстановку этого несчастия идет ничуть не меньше, чем на постановку "Аиды" и "Африканки".

Прежняя, старинная грязь и лужи, прежние гнилые заборы с нищими на углу, поющими "подайте Христа ради!",-- а над головой нищей, на том же углу, "Парижская жизнь", оперетка, изуродованные куплеты которой заглушаются буханьем в колокол у Никитья, где завтра престол... Вдруг, нежданно-негаданно, налетит по железной дороге Рубинштейн, Давыдов... Вдруг забежит волк и перекусает возвращающихся с концерта меломанов... Лохмотья, до последней степени расстроенные нервы, волк, Рубинштейн, венская карета и первобытная мостовая, мигрень и тик рядом с простым угаром, все это проходит одно за другим, желая представить из себя нечто общее, нечто переплетенное в одну книгу под одним общим заглавием "Губернский город такой-то", и нисколько не достигает чего-нибудь подобного, а только поражает, заставляя на каждом шагу спрашивать себя: зачем и откуда взялась венская карета в этой луже? Почему не просто соленый огурец, а какой-то соленый конкомбр? Зачем Рубинштейн? Зачем волк? Зачем "Парижская жизнь"?.. Зачем железная дорога?..

Словом -- полная неизменность первобытных условий, при которых по городу свободно могут бегать волки, при которых даже и состоятельный человек считает долгом по крайней мере раз в месяц угореть так, что его "вытаскивают" замертво, -- полная неизменность условий, при которых вполне возможны и законны сугробы, лохмотья и т. д., и в то же время несомненное присутствие или напор в среду этих условий -- мигреней, венских карет, опереток, громадных окладов, расстроенных нервов и множества других новостей, решительно не подходящих к старому, но смешанных с ним какою-то неведомою и невидимою силою, -- делает эту смесь, эту толкучку явлений досадною до последней степени. В самом деле, что должна перенести ваша мысль, если разговор о литературе, который вы сейчас вели в весьма просвещенном обществе, сменяется темною, как могила, улицею, по которой вам приходится идти, думая только о спасении себя от луж, собак, а то и прямо от волков? Нормальна ли будет ваша мысль, если грустные впечатления горемычнейшего процесса, виденного в суде, -- непременно должны быть либо просто забыты, либо изглажены впечатлениями разных маркиз и виконтов, бог знает как переведенных с французского, возвратившихся из ободранного елового Булоноского леса, которых вы видите на театре?.. Крайняя разнородность, полная разорванность явлений, которых невольно должна касаться ваша мысль в продолжение хотя одного дня, к вечеру этого дня истомляет вас, расслабляет. Приходится неожиданно думать о неожиданных вещах и неожиданно прекращать случайно начатую мысль ради чего-нибудь также неожиданного, а в результате -- нуль, скука, досадная зевота...

Вот в резких, грубых чертах тоскливая, искаженная физиономия современного, реформированного губернского города. Потребность уйти из него, которая начинает мелькать у вас очень скоро после знакомства с этой приятной физиономией, оказывается потребностью весьма распространенною, конечно, под весьма разнообразными формами. Одни просто готовы бежать куда глаза глядят, другие только сегодня "не знают, куда деться", а завтра, может, и денутся куда-нибудь, третьи вообще "чувствуют неудовольствие". Кой-кто из всей этой массы народа, чувствующей досадное иго и бремя досадной действительности, не задумывается долго и уходит; но неизмеримое большинство живет, ежеминутно чувствуя неудовлетворение.

И вот, почему-нибудь оставшись среди этой досадной путаницы жизни, оставшись надолго, начинаешь мало-помалу покойнее всматриваться в нее, изучать ее ввиду того, что не один ты влачишь это иго и бремя, а тысячи и десятки тысяч, и, благодаря этому, совершенно теряешь всякую возможность досадовать на какую бы то ни было неожиданность, прибавляющую к существующим нелепицам нелепицу новую, теряешь эту способность потому, что приходишь к такому убеждению: да ведь это -- все не здесь делается; ведь это все -- только отраженные движения нервной системы, мозговые центры которой не здесь. Оказывается, что здешний местный мозг почти парализован, почти не действует, а если и действует, то очень слабо, едва-

едва. Оказывается, что явления здешней жизни -- "явления" в буквальном смысле, потому что буквально "являются" сюда и перевертывают все вверх дном, не давая здешнему мозгу опомниться, приучив его молчать, обессилив и обескровив его.

Ниже мы фактами новейшей истории постараемся показать, как внезапность, случайность явлений нашей досадной жизни, так и влияние этой случайности, пришлости явлений на состояние мысли и расположение духа местного бюджетного потребителя. Теперь же прежде всего необходимо сказать два слова в подтверждение сказанного вообще о случайности появления новин в наших местах. Для того чтобы убедиться в этой случайности, лучше всего посмотреть на местного "жителя", на коренника, на потомка тех коренников, тех подлинных "жителей", которые насидели место, называемое теперь "город такой-то", которые застроили его этими домиками в три окна, этими церквами, этими базарами, которые горели и погорали дотла и все-таки опять выстраивались на насиженном месте. Каков же этот потомок, каков этот теперешний коренник, фундамент города, житель или, что -- то же, "предполагаемый на будущий год доход с недвижимых имуществ", каков-то он, этот недвижимый человек? Оказывается, что этот недвижимый человек как две капли воды такой же самый, как и его предок... Чего-чего не перебывало с древнейших времен до настоящих дней на том месте, которое насидел доисторический коренник, а он хоть бы на булавочную головку изменил суть своей жизни. Чем жил предок, откуда брал он силу чуть не ежегодно строиться вновь, ежегодно погорая от собственного самовара, -- определить нет возможности; точно так же нет никакой возможности определить, чем живет, откуда берет силу жить и теперешний житель, населяющий эти бесконечные трех- и четырехоконные каменные и полукаменные дома; но точь-в-точь, как и предок, он погорает от собственного самовара и точь-в-точь, как предок, -- неведомо как, -- умеет выстроиться. Подлинный житель непостижим без собственного дома. Дом и житель -- это то же, что мышь и нора; житель потому не просто человек, а, так сказать, -- человеко-дом; и в этом виде и смысле он -- две капли воды тот же самый человеко-дом, как и его доисторический предок.

Идут мимо него реформы, оперетки -- а он все бухает да бухает у Никитья к ранней и поздней, к первому, ко второму и третьему звону. Среди бездонных луж, устроенных этим самым жителем, появляются венские кареты, и в каретах садят в высшей степени расстроенные нервы, а житель, не обращая на эти нервы никакого внимания, продолжает терзать их хрюком и ревом своих базарных площадей и по-старинному тащит поросенка за заднюю ногу, ни капли не расстраивая своих доисторических нервов его воплем. Мимо него идут линии железных дорог, открывающие ему ворота на дороги всего света, а он все-таки продолжает ездить в одну только Оптину пустынь. Придут вместо железных дорог аэростаты -- и он все-таки и на аэростате поедет в ту же Оптину пустынь или уж (благо скоро ходит) съездит к Троице-Сергию, потому давно (лет тридцать) собирался. Во имя чего он дубасит у Никитья, толкается на базаре, горит и строится -- я не знаю, точно так же как не знаю, почему мышь проявляет себя только в прогрызании дыр, но что мышь и житель одинаково непоколебимо тверды в упомянутых проявлениях, это я вижу ясно. Чем же объяснить такую удивительную непоколебимость нравов человеко-дома, если не тем, что почти ни одно из "явлений" последних дней не началось в его норе, а прилетало, являлось со стороны? В нору жителя доходил только звук, свет явления, "ноне пошло" вот то-то, говорил он и на том оканчивал связь с тем, что "пошло"... "Пошло земство", "пошел шиньон", "пошли банки", "пошла стуколка"... Кое-что -- например, шиньон, необходимость билета на железную дорогу -- он удерживал у себя; но принимая шиньон, он все-таки отправлял в нем свою дочь к тому же самому Никитью, куда ходила и бабушка, хоть и без шиньона, а по железной дороге, как уже сказано,-- ездит все в ту же Оптину пустынь.

При этом необходимо упомянуть, что и принятие таких вещей, как шиньон и билет, всегда обходилось ему необыкновенно дорого. Так, прежде нежели он научился брать билеты, у него

было и долго тянулось дело по оскорблению начальника станции словами. Он пять раз подходил к кассе и спрашивал билет в Оптину пустынь, пять раз ему говорили, что нет такой станции, пять раз он отвечал на это, что "как же, мол, Иван-то Петрович ездил?" -- "Проходите, проходите!" -- говорил ему жандарм, и пять раз житель влезал за перила и вылезал из них без всякого результата. Так как прежде, до чугунки, все ездили в Оптину пустынь весьма благополучно и так как Иван Петрович ездил туда же по чугунке, то отказывать в билете -- это значит просто желать взять взятку. -- "Это вы, я вижу, господин, помазаться захотели, что, мол, в Оптину пустынь нельзя... видно, и тут с нашего брата норовите слизать..." -- в шестой раз продравшись к кассе, с полною уверенностию заявил житель. "Что-о-о-о?" -- загремело на это из глубины кассовой будочки, и загремело именно таким голосом, после которого непременно должен следовать протокол: так и вышло. Дело это, тянувшееся полтора года, стало жителю в копейку, но научило его брать билеты в Оптину пустынь. "Ты у меня спроси, -- говорил он какому-нибудь юному жителю: -- как, например, по нонешнему времени в Оптину-то пустынь ездят, так я тебе могу объяснить это... Оно у меня вот где сидит, следовательно, я знаю, как билеты берутся... вот!"... А шиньон? Тут ревела, не день, не два, а два-три года кряду, целая масса девиц, изнывающих в душных жителевых норах, жен и матерей, понимающих, что по нонешнему времени нельзя "без этого", бабушек и прабабушек, тронувшихся рыданиями внучек, и т. д. И только после нескольких лет этого рева, просьб и рыданий, возобновлявшихся аккуратно перед каждой всенощной и обедней, житель, который все время упирался единственно только потому, что все новое, приходящее со стороны, неприятно ему, наконец разрешает купить шиньон, прибавляя так, ни к селу ни к городу:

-- Да смотри у меня! Ежели чуть что -- из дому выгоню. Хоть околей на улице -- не пущу!

Но принимая кое-что из нового, он суть дела оставляет всегда прежнею, как уже это и было показано на истории с билетом и шиньоном, и принимает это "кое-что" после продолжительного самоистязания, воплей семьи, расходов по делу и т. д. Все же остальное новое, что не подходит так близко к его основным убеждениям, как подошел шиньон и билет на железную дорогу, все являлось к нему в виде повесток, просовываемых в его нору каким-то серым рукавом и требующих 1 р., 2 р., 5 р., и т. д., только оплачивалось и оплачивается им, причем житель кряхтит, чешется и под конец все-таки платит. Оплаченные таким образом новости как будто бы осуществляются в действительности, но в нравственном мире коренного жителя -- от них ни тепло, ни холодно. Верит он в сущности все-таки только в то, во что верил его древнейший предок.

III

Таков коренной, фундаментальный житель города. Притерпевшись ко всевозможным переменам, закалившись, с одной стороны, в уверенности, что появление "этих несчастий" неизбежно (всякий, даже и ни в чем не виноватый из жителей уверен, что от сумы да от тюрьмы -- отказываться нельзя,) с другой стороны -- в том, что оно, это явление перемен, не от нас и "нам не требуется", житель хоть и кряхтит, хоть и платит, но основы, то есть пироги, храмовые праздники, пожары и т. п., завещанные ему предками, узаконяют в его собственных глазах его существование. Веря в эти основы, он чувствует некоторое тепло близ них, имеет на белом свете некоторый уют. Выстроившись, отправившись благополучно к Троице-Сергию, житель может иметь в своей норе минуты истинного счастия, особливо когда уверен, что ближе будущего года гореть ему не придется, что вороты заперты, собаки спущены, что около кровати старшей дочери, свернувшись клубочком под шубкой на полу, лежит старая бабушка и всю ночь, не показывая виду, не спускает с своей внучки глаз. В такие минуты, когда житель вполне уверен, что в такой

поздний час не придут с повесткой, что не влезет вор, что господь сохранит от пожара, что дочка замуж пойдет по-божески, в такие минуты житель может быть вполне счастлив. На душе его в такие минуты тихо, тепло; тихо и тепло в такие минуты в его спальне, в его перине, и весело от ровного тихого света лампадки.

Но каково тому, кто не глупит, как распоясовский мужик, каково тому, кто не сеет, не жнет, не рубит и не опустошает, кто не терпит, как коренной житель, от новых времен и от пожаров, но кто поставлен к этим временам для того, чтобы "делать их", кому заплачено чистыми деньгами и сказано: "не хлопочи ни о чем, а думай, делай и получай за это!" -- каково-то на душе у этого человека, лишенного совершенно того уюта душевного, который есть у "жителя", который поставлен вне условий, заставляющих распоясовского мужика, получившего восемь гривен, успокаивать себя фразой: "по крайности -- деньги"? Каково-то состояние духа этого подлинного неплательщика (иные называют этот сорт людей интеллигенцией, в данном случае -- провинциальной) ввиду все той же случайности появления новых дел, к которым ставят его и за которые ему так хорошо платят?..

Без всякого преувеличения можно сказать, что состояние духа лучшего экземпляра современного провинциального интеллигентного неплательщика поистине ужасное. Именно ужас этого душевного состояния и заставил нас оторваться на время от распоясовских интересов. Чтобы это определение не показалось читателю голословным, мы постараемся разобрать, хотя в общих чертах, элементы, из которых слагается это определение, а так как корень и источник положения, определяемого в конце концов словом "ужасный", все-таки та же "случайность", то прежде всего нам необходимо взять какое-нибудь явление, случайность которого не может подлежать сомнению и ясна для всех.

Возьмем поэтому такое явление, как железная дорога. Не подлежит никакому сомнению, что город, о котором идет речь, никоим образом не мог иметь надобности в этом новом явлении. Погорая ежегодно, он был беден, как бедна была вся округа. Поэтому на предложение еще только проектированной дороги войти городу с нею в какие-то соглашения и сделать в ее пользу какие-то уступки город отвечал прямым отказом. Он знал свои средства и находил, что соглашаться ему "не расчет". В чем другом, а в этом деле можно поверить опытности жителя, и, стало быть, если, несмотря на этот отказ, дорога все-таки явилась в наших местах, то появление ее можно смело считать вполне неожиданным, случившимся вопреки местным надобностям и экономическим возможностям. Но так или иначе мысль, родившаяся в какой-то посторонней голове, родившаяся из каких-то до нас ни на волос не касавшихся расчетов, приведена в исполнение: локомотивы свистят, поезды приходят и отходят. Факт совершился, и волей-неволей приходится подчиниться ему.

Кряхтя и почесываясь, город принужден строить шоссе к станции железной дороги, которая, после отказа в соглашении, выстроилась где-то необычайно не у места. Прошла дорога и стала возить все дешевле, чем на лошадях; лошадиная езда стала невозможностью, и хотя то, что город и округа возили на лошадях в старину, с проходом дороги не могло увеличиться, но неволя заставляет и для этих маленьких грузов строить шоссе, потому что возить людей и товар по таким местам, где отроду не было никаких дорог, не представляется никакой возможности; и вот из доходов города выламывается нежданно-негаданно куш в сто пятьдесят тысяч рублей. В расходах, кое-как удовлетворявшихся местными средствами, образуется новый, на который еще вчера никто не рассчитывал и который нечем покрыть, так как и прежние едва-едва удовлетворялись. Местное самоуправление, выломив из своих доходов такой куш, вдруг съеживается в удовлетворении самых настоятельных потребностей, только что пробужденных другими, тоже большей частью случайно вторгнувшимися в жизнь явлениями. Положено поэтому закрыть христорождественекое училище, отложить до будущего года проект о водопроводе, уменьшить,

сократить, отклонить, отложить. В деятельности городского самоуправления, предположим даже такого, которое одушевлено самыми благими намерениями, внезапное исчезновение такой кучи денег, какая пошла на мостовую, сразу делает прореху, и люди, даже самые лучшие, стоящие впереди этой прорехи, неизбежно должны сознавать ее, чувствовать, что дело их -- не дело, а так -- вокруг чего-то толкотня, и что покуда не заполнится чем-нибудь эта прореха, все остальные потребности города, еще вчера крайне настоятельные, должны удовлетворяться только обиняками, могут поддерживаться только в переписке, на бумаге, замазываться и размазываться особенно искусно придуманным для выражения несуществующих вещей языком...

Так отзывается внезапность явления железной дороги на хозяйстве города. На хозяйстве "округи" она отзывается появлением Ивана Кузьмича. До появления дороги у жителя округи, у распоясовского обывателя, было очень мало; все, что у него было, он весьма удобно увозил в город на продажу на своих дровнишках. С появлением дороги размер его имущества не увеличился. Распоясовскому обывателю от нее ни тепло, ни холодно, но Ивану Кузьмичу от нее тепло несомненно. От нее тепло хищнику, тепло человеку, имеющему что-нибудь. Иван Кузьмич, благодаря новому пути, является в глушь и берет то, что есть. У обывателя очень мало; Иван Кузьмич берет у помещика, берет леса, камни, словом -- недра, то есть безжалостно расстраивает благосостояние распоясовца, уничтожая, покупая и увозя такие вещи, потеря которых невознаградима. Неудивительно поэтому, если на будущую сессию окружного суда число дел о краже значительно увеличится.

Таким образом, кроме городского самоуправления, прореха, благодаря внезапности явления, должна обнаружиться на другой же день по проходе железной дороги еще в двух новых инстанциях. Она, во-первых, обнаружится во всей громадной организации новой железной дороги со всеми бесчисленными ее службами, отделениями и конторами и, во-вторых, задевает отчасти деятельность учреждения, повидимому вовсе к дороге неприкосновенного, именно -- нового суда.

До появления Ивана Кузьмича громадная, требующая трехмиллионных расходов организация дороги не делает ровно-таки ничего. Телеграфы ее гудят: "нет, нет, нет..." В отчетах и ведомостях, над которыми сидит не одна сотня народу, проставляется, пишется, докладывается о том, что грузов не было и нет, и весь этот хор, стоящий три миллиона рублей, на разные голоса, разными почерками поет и пишет: "ноль, ноль, ноль; нет, и нет, и нет -- и ничего, и ничего, и ничего, не было, не было, не было", -- квакают, кудахтают и стонут по конторам, по отделениям и т. п. Тут уж не просто прорехи -- тут прямо пустое место, дыра бездонная, вокруг которой стоит масса неплательщиков и получает "за это" чистыми деньгами.

В таком положении находится "дело" до появления Ивана Кузьмича. С появлением же этого оживителя глухих местностей дорога начинает работать: "лес, лес, лес", -- начинают гудеть телеграфы... "Лес, лес, лес", -- проставляют и записывают в ведомостях, в отчетах, в книгах и бумагах... "Лес, лес, лес", -- бежит по всей линии, наполняет все вагоны до тех пор, пока вдруг не прекратится этот "груз" под топором Ляпунова Ивана Кузьмича и не побежит по всей линии из-под его лопаты уголь или камень. То, что дорога с появлением Ивана Кузьмича "начала работать", это не подлежит никакому сомнению, так как уже известно, что, благодаря этой работе дороги, у распоясовского обывателя появилось одно время до восьмидесяти копеек серебром чистыми деньгами; но несмотря на несомненность "работы", едва ли такая работа может связать с собою интеллигентные силы неплательщиков, так как если, благодаря Ивану Кузьмичу, и нельзя уже назвать ее дела пустым местом, то язвою и раною не назвать невозможно.

Кроме всего этого, внезапный толчок нового явления отдается даже и в таком месте, которое, повидимому, не имеет с этим внезапным явлением никакой связи, в новом суде. Кража бревна, кража овчины, кража двух кулей ржи, кража подпояски, кража, кража, кража -- бесконечным

потоком тянется на скамью подсудимых... Распоясовский обыватель начинает занимать в острогах и на скамье подсудимых видное место. Его хватают, везут, содержат в тюрьмах, кормят, допрашивают, делают очные ставки, говорят речи; для его оправдания и обвинения толчется и получает деньги целая толпа народу, пишущего, разъезжающего по казенной надобности, сочиняющего бумаги, речи. Но и тут, в этом постороннем новому явлению месте, не оказалось ли, благодаря этому явлению, пустого места, чего-то ненужного, чего-то такого, о чем не стоило бы ни хлопотать, ни писать, ни говорить речей, так как все дело ясно, как дважды два: пришла чугунка, приехал Иван Кузьмич, все вырубил, выкопал, даже украсть стало негде, ну вот и все... Господа присяжные говорят, правда: "нет, не виновен", но ведь они зато и не стоят бюджету ни копейки. Все же, что стоит денег, чувствует, что, говоря об этом бревне, утащенном распоясовцем, об этом взломе и прочих распоясовских преступлениях, оно не имеет под собою реальной почвы, не ощущает действительного дела, по крайней мере большею частию не ощущает его, а что-то пустое, хлопотливое, что-то совершенно не серьезное, не "настоящее" ощущается и тут, среди всей дорого стоящей обстановки, с которою это, якобы серьезное, совершается.

Итак, вот каким образом в самых общих чертах отзывается внезапность того или другого нового явления, на этот раз -- внезапное явление новой железной дороги. В трех пунктах новых дел оно отозвалось появлением пустого места, чего-то такого, чего нечем наполнить; оно пустым местом отозвалось в городском самоуправлении, образовало новое пустое и даже больное место в виде всей организации новой дороги и внесло хлопотливые и дорогие пустяки в серьезное дело суда. Только в общих чертах, только на единичном случае внезапного нововведения показали мы результаты этой внезапности, результаты, происходящие тотчас, на другой день после того, как невозможное почему-то стало возможным. Но если мы предположим, что и кроме новой питательной ветви почти все явления жизни нашего городка имеют тот же характер неожиданности в своем появлении, что все они, появляясь неожиданно, нарушают существовавший до них обиход, то будет понятно, почему вокруг новых дел не чувствуется особенной жизни, а, напротив, в каждом таком явлении замечается какая-то дыра, образовавшаяся от того, что нашу провинциальную шкуру принялись тянуть в разные стороны, да и разорвали в двадцати местах. Не явись чугунка -- не пришлось бы строить шоссе, полтораста тысяч пошли бы на другое, христорождественская школа существовала бы, приготовила бы лишний десяток грамотных. Иван Кузьмич не приехал бы к нам с своими капиталами, и распоясовские леса хотя кое-как грели бы распоясовского обывателя, а быть может, случилось бы и так, что, нуждаясь в деньгах, барин и сам бы вошел в сделку с этими обывателями. Не было бы пустых дел в суде, не было бы такого, как теперь, очень часто совершенно непроизводительного расхода на тюрьмы. Но дорога, на зло всем возможностям, прилетела и все перевернула вверх дном. Благодаря ей является шоссе и закрывается христорождественская школа, где учился десяток беднейших мальчишек; благодаря ей является Иван Кузьмич, платит за распоясовские леса чистыми деньгами; деньги эти являются в город, и в ту самую минуту, когда закрывается христорождественская школа, -- открывается театр с оперетками, и в то же время окружный суд наполняется ворами, укравшими у Ивана Кузьмича бревно. Обилие "каких-то" денег от проданных лесов и от денег, которые тратит организация нового явления, помогая Ивану Кузьмичу, начинает бить запахом денег в нос обывателям, и вот батюшка, лицо духовное, прекращает у себя маленькую школу, ибо за ту комнату, в которой она помещается, теперь можно получить втрое против того, что давала школа при ежедневном труде в ней.

Мы бы никогда не кончили с этой путаницей барышей и убытков, если бы стали подробно разбирать, что и как происходит в провинциальной жизни от неожиданности вторгающихся в нее явлений. Работа эта трудна, а у нас нет достаточно досуга, чтобы заняться ею с подобающею ей

тщательностию, но как бы ни было велико количество сцепляющихся с неожиданностию явлений фактов, общий их смысл -- нарушение распорядков в местном кармане и, главное, -- мышлении. К какому бы новому либо старому явлению мы ни подошли, в сущности его всегда будет прореха, недостает чего-то или окажется хвачено через край... Там чувствуется что-то ненужное, там прямо невозможное, а в ином месте -- просто чорт знает что, вообще же все как будто не настоящее, растопыренная нищета, уголовная бедность и т. д. Отдать таким полуделам, таким "как будто бы" делам свою душу, кровь, мозг, ум, словом, все -- нет никакой возможности. Сегодня я отдаюсь делу всей душой, а завтра нагрянет такое явление, которое бог знает как далеко отшвырнет меня от этого дела; возможность такого явления отнимает охоту отдаваться всей душой. Таким образом, мысль интеллигентного неплательщика и простое, здоровое, совестливое ея развитие во всем этом решительно ни при чем, так что вообще распоясовский обыватель решительно не может, да и не должен завидовать интеллигентному неплательщику; дела, за которые этот неплательщик получает готовые денежки, -- в сущности не дела, а какие-то рубища, которым надобно придавать благоприличный вид, какая-то толкотня около и вокруг почти пустых мест с обязательством придавать им вид возделанных полей; на мой взгляд, куда не сладка таким путем достающаяся копейка!.. Тратить всю жизнь невзаправду, уставать от хлопот вокруг пустого места -- да этакой муки не вознаградить никакими деньгами...

Но в истории состояния духа интеллигентного неплательщика это горе, происходящее от отсутствия связи его совести с тем делом, к которому он приставлен, -- это еще только цветочки, ягодки будут впереди! Самая глубокая беда для него еще не в этом, а в том -- отчего интеллигентный неплательщик, невзирая на то, что он не получает взамен жалованья ничего, кроме горького сознания, что "уходят" года, все-таки стоит у этих полупустых или пустых мест? Почему он, зная, что уголовное дело о пропаже у Ивана Кузьмича двух овчин произведено в сущности самим Иваном Кузьмичом, все-таки бурчит что-то для проформы против распоясовского обывателя и бурчит, скучая, целые годы? Какая сила держит этого неплательщика около дела, где нет ровно ничего, кроме "не было", и "нет", и "не будет"? Какая сила подавляет его негодование на это дело о "не было", на эту бесплодную потерю дней и годов, которые -- он отлично это знает -- никогда не воротятся к нему? Вообще же кто и что превратило его в интеллигентный гвоздь, который вбивает на известное место посторонняя рука и который оказывается способным держать все, что эта посторонняя рука на него ни повесит? О, глядя на этот гвоздь, глядя на то, как, интеллигентно ворча что-то, он все-таки продолжает крепко сидеть там, где его вбили, негодование, боль, скорбь, гнев и слезы задушили бы, замучили бы сразу человека, рожденного вне случайностей нашей жизни; но мы, рожденные тут, в самом центре пустого места, не умеем ни плакать, ни негодовать столь глубоко, тем более что у нас есть и ключ к этому явлению.

Этот ключ -- все тот же случай.

IV

Нам приходится таким образом перейти к явлениям, которые происходят во внутреннем мире интеллигентного неплательщика; при этом прежде всего необходимо сказать два слова о том, что бесконечный ряд предшествовавших случайностей сумел воспитать, довести до степени породы значительный класс более или менее мелких неплательщиков, которые ни по натуре, ни по умственному развитию не могут, в буквальном смысле слова, делать никаких дел, кроме дел, составляющих голое, пустое место. Возня вокруг "ничего" в этих редких экземплярах, служение пустому месту возведено в настоящее дело, в такое дело, на которое уходят все движения души, вся страсть... Белое поле бумаги, на которой надобно с осторожностию мухи ползать пером, чтобы в растопыренных выражениях не сказать большей частью ровно ничего, это поле бумаги, белой и

сыроватой, производит на такие организации впечатление почти женской, девственной красоты... Стальное перо почти сладострастно впивается в это белое тело, бережет его, дрожит за него... С каким захватывающим дух восторгом взлетает это перо вверх, чтобы, секунду подержавшись на вершине заглавной буквы, вдруг сорваться и торчмя головой ринуться смелым, даже отчаянным завитком вниз, в бездну, в эту белую бездну чистого листа "министерской" писчей бумаги! Положительно можно сказать, что эти редкие экземпляры, рожденные в самой средине всевозможных кружащихся вокруг пустого места обиняков, в такие минуты живут настоящею жизнию, и именно тут, близ этой бумаги, от душного воздуха этих гнилых обиняков, бьется их сердце, волнуется кровь, человек оживает, унывает, грустит, вообще -- живет.

Этот удивительный экземпляр, выработанный условиями жизни исключительно на пользу пустых мест, -- экземпляр редкий и без примеси пьянства, мелкой алчности и какой-то грязи во всех других своих чисто личных и действительно живых отношениях встречается очень редко. Но и в чистом виде, без малейших признаков чего-либо живого, он тоже есть, и в таком виде ему положительно нет цены. Грустно вымолвить, а нельзя утаить, что в этом олицетворении обиняка нуждаются все, даже самоновейшие учреждения. Он, этот обиняк, появившись там, где люди, чувствуя перед собою пустоту, теряются и не знают, что делать с ней, чем ее наполнить, вдруг, в мгновение ока, вносит в эту пустоту всеми желаемую атмосферу дела, хлопот и забот. Там, где все дела переделывались в полчаса и затем оставалось несколько часов, которые приходилось убивать кое-как, кой-чем, -- там с появлением обиняка вдруг начинает нехватать целых суток для того, чтобы исполнить хоть часть дел, и становится ее стыдно получать жалованье. Непритворность и страстность этого обиняка необычайно сильно действуют на всех, невольно покоряя своею искренностью, как вообще покоряет человека все подлинно искреннее. Кто, кроме обиняка, может так искусно балансировать над бездонной дырой, открывающемся перед всяким живым человеком, балансировать, "отклонять", "отклоняться", "обходить", "откладывать", "умалчивать", "заслушивать" и т. д.? Только он, один он в силах из "ничего" создать "заседание", да не одно, а пять, десять, исписать по этому случаю вороха бумаг, взбудоражить или по крайней мере сцепить в кучу не один десяток человек, изложить в тысяче пунктов то, чего бы никто не заметил, даже пристально рассматривая на собственной своей ладони... Нет никакой возможности исчислить всю необычайную пригодность для пустых дел этого чистейшего экземпляра обиняка, равно как нет возможности с точностью и ярко представить внешний и внутренний вид этого экземпляра -- и то и другое до бесконечности неуловимо... Это -- дух, невидимо присутствующий во всех новых и старых делах обинякового содержания.

Такие цельные экземпляры необыкновенно дороги и редки; редки оттого, что для выработки такого экземпляра необходимо несколько поколений, на которых бы случайности жизни, отнимающие веру во все живое, действовали бы с неумолимою настойчивостью, в одном и том же смертоносном направлении, более или менее продолжительное время. А такая систематичность выдается на долю немногих и есть тоже случай; поэтому-то чистый тип обиняка хотя и одушевляет собою все пустые места, но к числу интеллигентных неплательщиков причислен быть не может. "Без меня там сядут. Я один работаю за всех!" -- говорит такой экземпляр обиняка где-нибудь на именинном пироге под хмельком, и говорит сущую правду, потому что он один живет и дышит и искренно предан всем этим обиняковым делам; но потому-то именно, что он искренен в своем пустом деле, он и не принадлежит к интеллигенции, ибо неискренность -- вообще удел интеллигентного неплательщика. Да, наконец, несмотря на то, что он все невидимо наполняет и движет, уж одно то обстоятельство, что он почти всегда получает от бюджета медный грош, крупицу, -- уж это выделяет его из полчища неплательщиков, удел которых, кроме неискренности, также и способность съедать очень много... Повторяем, это дух,

олицетворение озабоченной серьезностью лжи, а не интеллигентный неплательщик, лгущий только из-за денег.

Грустно положение человека, у которого бьет седина и который, содрогаясь, что "ушли годы", и вспоминая их, эти безвозвратно исчезнувшие годы, к ужасу своему видит, что ему нельзя отстать от этого "обиняка", к которому его принесла река случайностей жизни. Нельзя потому, что тут по крайней мере "верный" кусок хлеба, именно хлеба, пропитания... То, что с ним случилось, отняло у него охоту ценить свою мысль, свои симпатии, отучило его даже слушаться своей натуры, того, что без его ведома прирождено ему... Тихий и кроткий, он "попал" в разряд "озлобленных". Неожиданность! Когда его наказывали, он неожиданно чувствовал себя хорошо; когда его прощали, это было его наказанием. Смолоду это весело и чудно. Жизнь выделывает такие неожиданности, сталкивая с хорошим там, где должно бы быть дурное, и наоборот, ставя в положения, в которые ни за что бы не попал, если бы распоряжался сам, и т. д. Но эта комедия случайностей, с той минуты, когда неразборчивая, грубая рука ее начинает рвать живое тело (тоже по недоразумению), с этой минуты шутовская комедия превращается в глубокую драму. Сила случая, дающая себя знать так больно, ясно доказывает свои громадные размеры, заставляет жаться от нее подальше, беречься, чтобы сильная и бестолково действующая рука ее не достала, не дохватила. И вот человек съеживается, забивается в угол. И, весь израненный, говорит себе: "по крайней мере верный кусок хлеба", -- и становится к пустому, иной раз и не совсем чистому делу.

Все это яркие продукты случая -- явления крупные, видные, но и вся остальная бюджетная братия, если и не подвержена таким заботливым попечениям случая, изведала его власть на бесчисленных мелочах. Тысячи систем воспитания и образования, пережитые с детства и всякий раз обязательно связанные с куском (большим или меньшим -- все равно), уже в ранней юности ослабили, если не совсем умертвили мысль, приучив человека только к страху перед таким будущим, в котором могут и не дать этого куска хлеба. Затем, если, несмотря на эти способы превратить человека в автомата, ему по врожденной силе мысли удалось сохранить в нее веру и в последующие годы, то заботливая рука случая не замедлит и здесь показать свою власть, вырвав из рук его любимую книгу, или понесет его по волнам таких случайностей, о которых уже говорено выше и которые все-таки приводят к страху потерять кусок хлеба (большой или маленький -- опять-таки все равно).

Мы не говорим о тех из числа бюджетных неплательщиков, которые чуть не с детства знают уже, что "верно" в этой земной юдоли, и хотя прямо тоже не принадлежат действительно к интеллигентным неплательщикам, но сами несомненно причисляют себя к ним и уже во всяком случае могут действительно назваться неплательщиками. Мы не говорим о них потому, что слово "рот" вполне достаточно для того, чтобы определить и их личные взгляды и их отношения к тем новым или старым делам, благодаря которым этот рот постоянно и плотно набит... Но, увы, и подлинный интеллигентный неплательщик, мы должны это сказать скрепя сердце, тоже связан с своим делом тоже только одним ртом... К длинному, большему бюджету он несет только свой рот...

Теперь, подведя всему сказанному итог, потрудитесь представить себе состояние духа наилучшего интеллигентного неплательщика. Дела, которые он делает, не связываются (если, конечно, привычка не возьмет свое) с его мыслью надлежащим образом плотно и крепко; отдать на служение им силу души -- нельзя: завтра может вломиться такое явление, которое сразу высадит целый угол только что с любовью начатого здания; возиться над разбросанными осколками и щепками невозможно: послезавтра может нагрянуть новое, даже и отрадное явление, которое опять-таки, втиснувшись внезапно и не туда, куда надо бы, расшвыряет и щепки... Дело, превращенное в прореху, требует медленного утомительного штопанья, толченья

вокруг полупустяков, вокруг слов, хотя бы и громких, но пустых... И у таких-то пустых дел стоит человек, у которого точно такие же дырья и прорехи сделаны уж в самой душе; у которого мысль отвыкла совать свой нос на сторону, словом -- у которого случай все помял, все испугал, на все прикрикнул, и прикрикнул основательно. Ослабленный и испуганный внутри себя, интеллигентный неплательщик стоит у расслабленного дела, знает это, видит, как это пусто и пошло, каждую минуту чувствует если не всю пошлость положения, то уж всю его холодную пустоту, и стоит потому, что "по крайней мере" -- верный кусок хлеба!.. Жить в постоянной атмосфере "не настоящего", "не заправского", дышать постоянно воздухом "неискренности" -- и все потому, что только при таких условиях неплательщику дается возможность жить, -- это чистое мучение!..

Предоставляю читателю самому соединить воедино сотни индивидуумов, хотя и разнохарактерных, но несомненно зараженных одинаковым недугом неискренности, и представить себе, что за жизнь, что за взаимные отношения могут сложиться из всего этого... Чтобы недалеко ходить за результатами такой жизни, спросите любого из интеллигентных неплательщиков, и он вам скажет, в откровенную минуту, что это -- мученье, что это -- ужас что такое, только не жизнь. "Но ведь так жить действительно нельзя!" -- скажет читатель. Было бы действительно невозможно в таком положении просуществовать и дня, если бы в неплательщике и кругом него все было опустошаемо систематически. Но благодаря тому же случаю иное в делах и лицах каким-то чудом остается нетронутым, живым, обманывает глаз... Велико ли в самом деле обилие сил русской души, велика ли их живучесть, только присутствие и существование их несомненно почти в каждой, как бы грубо ни расшатанной душе неплательщика и изумительно по своей стойкости, по своему уменью съежиться до последней степени и все-таки жить, хоть урывками, но жадно вглядываясь в белый свет... Книга -- вот прибежище всего съежившегося, притаившегося, но вполне живого в неплательщике... Боже милосердый, как жаден он до книг! Чего-чего не поглотил он на своем веку, и, несмотря на бездну проглоченного, мозг его до сей поры голоден, как будто бы ничего и не ел никогда, и все просит и все просит еще... Книга, чтение -- единственное прибежище и отрада, но только отрада, и отрада, увы, весьма бесплодная!.. Чего-чего только не перенес, не испытал благодаря непрерывному чтению этот мозг! Но не имея возможности, даже утратив отчасти самую мысль о возможности куда-нибудь нести то, что перенес, в чем убедился этот мозг, он привык наслаждаться мыслью сам для себя, он привык и приучил себя к ощущению чтения и -- что делать -- превратился в какую-то бездонную прорву, в которую можно валить томы, вороха напечатанных мыслей и которая все-таки будет пуста... Пишите, валите туда написанное всеми перьями, существующими на белом свете, -- все мало; давай еще нового, а дела он все-таки будет делать пустые и верить искренно в одно -- хлеб насущный. Нет, незавидное, бедовое положение интеллигентного неплательщика! Удивительно, как он живет еще. Но что особенно грустно среди всего этого, так это -- дети!

Распоясовец! Мужик! Дай ты этим ребятишкам, этим подрастающим неплательщикам, дай ты им своих сказочек, простых деревенских песенок! Повесели ты их цветочками, и зверьками, и зайками... Пошути, побалуйся с ними! Ведь они чахнут в этом воздухе неискренности, утайки, неправды, а главное -- в этой дорогой пустоте!.. Спаси их твоей простою правдой, дай дохнуть свежего, здорового воздуха, услышать прямое слово, -- ведь они будут глубоко несчастны и глубоко гадки без тебя, без твоего правдивого и горького опыта, без твоей искренней, забывающей худое, шутки.

V

Так изо дня в день и из года в год тянется унылая, пустая, скучная и нищенски пестрая неплательщичья жизнь. Довольно значительным количеством интеллигентных ртов съедается довольно значительное количество бюджетных цифр, а в результате -- "словно корова лизнула языком". В этой атмосфере "не настоящего", "не заправского" нет минуты веселья, нет здоровья, нет дела, нет сознания простого покоя... Всякого что-то точит, вертит в душе, особливо когда этот всякий остался один сам с собой и улучил минутку, когда может если не лгать прямо, то хоть не вывихивать себя, что почти составляет всеобщую привычку... Лучшее, задушевнейшее желание большинства неплательщиков -- уйти друг от друга, и, несмотря на это, завтра, напившись утром чаю, все желающее разбежаться вновь сцепляется в тесный хоровод вокруг пустого места и вновь продолжает почти бесплодную толчею, вырабатывая или, вернее, "вылыгая" себе хлеб. Какая-то непроглядная, жалкая бестолковщина, что-то тягучее и крайне больное непрерывно тянется в этой жизни изо дня в день (если не считать моментов, которые веселы даже и для птиц и мух, -- любовные дела и проч.), пронизывая воздух, которым приходится дышать, и душным туманом застилая будущее... Бывают моменты, когда одновременно в разных концах неплательщичьего мира чувствуется полное удушье... вот, вот, кажется, дальше нет возможности выносить... И вдруг как молния блеснет: "Слышали? Варенька-то!.. Ведь застрелилась?.. Как? что такое? Неужели?.." И точно могучим ударом могучего кулака ударит та весть по расслабленной неплательщичьей душе... "Стало быть, и вправду душно и трудно!" -- думает она... "Вправду, вправду!.." -- говорит совесть, отвыкнувшая признавать за правдой какой-нибудь существенный смысл. И все, что уцелело в этой душе хорошего, все выйдет на божий свет. Боже, как ревет иной закоснелый неплательщик в такие минуты!.. Как он много начинает видеть и страшиться -- хотя к пустому месту все-таки продолжает ходить аккуратно каждый день в половине двенадцатого утра и, скрепя свое действительно больное сердце, все-таки усердно трудится до пяти часов вечера ради своего рта, трудится над отвиливанием от "насущных вопросов"... А туман, духота мало-помалу опять сгущаются кругом... Опять тянутся скучные и серые дни... тянутся, тянутся, и вдруг опять как гром грянет, где-нибудь не вытерпит и прорвется "сущая правда"... От этих неожиданных появлений сущей правды не застраховано решительно ни одно из тех гнезд, где заседают вокруг пустого места обремененные жалованием неплательщики.

Г. Бялый[51]. Очерки и рассказы Глеба Успенского

Глеб Иванович Успенский часто говорил, что его произведения - это не художественная литература в обычном смысле слова, а лишь черновые наброски, беглые зарисовки, злободневные отклики на события и впечатления текущей жизни. Время сейчас трудное, переходное, в жизни все неясно, смутно, зыбко, во всем этом надо разобраться, все переворошить, не заботясь ни о художественном совершенстве формы, ни даже о полной незыблемости выводов - и "теоретическом изяществе" построений. Жизнь внесет свои поправки в писания современных литераторов, от них же она ждет только правды - "сущей правды", как любил говорить Г. Успенский, подразумевая под этим словом и честную точность наблюдения и самую полную, бескомпромиссную искренность чувства. Писателю сейчас поневоле приходится

[51] Бялый Г. Очерки и рассказы Глеба Успенского.// Успенский Г. Нравы Растеряевой улицы. Рассказы.- М., "Художественная литература", 1981 Серия "Классики и современники"

рисовать невеселые картины, говорить о грубой прозе, о серых буднях, о черном хлебе, о жизненном неустройстве. Наше время печально, говорил Глеб Успенский, такова же и наша литература; изменится время, наступит иная, более счастливая и более достойная человека пора, - и тогда писатели на страницы своих сочинений станут "заносить неоцененные моменты радости, часы счастья", тогда "искусство будет служить оправой для этих моментов, как бы бриллиантов, и тогда они будут издали ярко сверкать как в книгах, так и в жизни". Но до этого еще далеко, и суровая эпоха требует сурового искусства. Успенский и создавал такое искусство, совсем особое, необычное, как будто даже торопливое, но, вопреки самооценке писателя, подлинное, глубокое и волнующее.

Глеб Успенский работал в литературе от шестидесятых до начала девяностых годов прошлого столетия, в тот исторический период, когда рухнули старые жизненные устои и для России началась буржуазная эра, принесшая народу новые беды и бесчисленные сложные, почти неразрешимые вопросы. В течение долгих лет, писал Успенский в одном из своих очерков, "новому поколению приходилось и приходится разбираться в целой массе новых, неожиданных условий жизни, разбираться без указания, без совета (старики ничего в новом не понимают), приходится ломать голову над разрешением труднейшего вопроса о совести и копейке, страдать за него, разрывать связи с прошлым, переживать минуты горького сиротства, полной беззащитности и беспомощно гибнуть или же, повинуясь хоть и неясной, но светлой надежде, идти искать новых мест, новых нравственных связей, новых лучших и справедливейших материальных условий...". Вопросы "о совести и копейке", народные задачи и надежды, волнения народной мысли и связанные с ними духовные драмы демократической интеллигенции - все это нашло свое отражение и истолкование в творчестве Успенского и легло в его основу.

1

Начинает Успенский свои наблюдения с того момента, когда старое еще не потеряло силы, а новое только еще входит в быт и сознание людей. В "Нравах Растеряевой улицы" (1866), первом крупном очерковом цикле Успенского, взят именно этот момент в жизни трудового люда (мастеровых, фабричных рабочих), мелких чиновников, мещан и других обитателей Растеряевой улицы города Т., то есть Тулы, родного города Успенского. Улица в действительности называлась Барановой, но вымышленное название, которое дал ей Успенский, имеет символический смысл. Из описаний типов и нравов этой улицы вырастает сложное социально-психологическое обобщение "растеряевщины", которое включает в себя разнообразные стороны быта и сознания: это и привычка к полной бездумной неподвижности, и страх перед жизнью, уже требующей размышления, рассуждения, это горькая, неизбывная нужда, неописуемая нищета, привычная и в то же время непереносимая даже для растеряевцев, ко всему притерпевшихся, это такой порядок вещей, при котором люди не помышляют о счастье и даже не знают толком, что оно такое, потому что "честному, разумному счастью здесь места не было". Растеряевщина - это пьянство, такое страшное, что ради шкалика водки мастеровой люд пропивает все с себя, а по понедельникам, чтобы опохмелиться, тащит из дома последние пожитки, унижается перед кабатчиком и, трясясь, словно от мороза, вопит: "Маленькую, отец!" Это пьянство от тоски и отчаяния, от невозможности в голодной и холодной семье найти хотя бы крупицу радости, это болезнь без исцеления, потому что "под силу трезвому человеку перейти то море нужд, которое тянется и тянулось без конца?". Растеряевщина - это совершенная неспособность найти выход из обступивших бед, бессмыслица в

разговорах и поступках, это "полоумство" и "перекабыльство" (от слова "кабы": "кабы то-то, да кабы другое"), это беззащитность перед силой, словом, такая почва, на которой неизбежно должно расцвести хищничество.

Оно ярче всего воплощено в образе Прохора Порфирыча, главного героя очерков. Его колоритная фигура открывает и завершает повествование о Растеряевой улице. "Хотя улица эта вынянчила и выпустила его из своих голодных недр", Прохор Порфирыч тем не менее не сливается с растеряевским людом, он противостоит ему. То ли благодаря случайности рождения (он незаконный сын полицейского чиновника), то ли благодаря жизненному опыту, ему удалось уберечься от растеряевского "полоумства" и "перекабыльства" и превратиться в человека холодного расчета, озабоченного делом и выгодой. Все пороки, все беды, все ужасы растеряевщины идут ему на пользу и способствуют его успеху. Умение урвать все, что возможно, пользуясь прежде всего счастливыми для него минутами запойных терзаний растеряевского люда, отсутствие ненужных ему чувств шалости и сострадания, полная атрофия совести - все это превращает его в типическую фигуру беззастенчивого и умного дельца начального периода пореформенной поры и даже в своеобразного идеолога нового порядка. "Прежде он, дурак полоумный, дело путал, справиться не мог, а теперь-то, по нынешним-то временам, он и вовсе ничего но понимает... Умный человек тут и хватай!.." "Вместе с этими дьяволами умному человеку издыхать? Это уж пустое дело. Лучше же я натрафлю, да, господи благослови, сам ему на шею сяду" - такова программа "умного человека" новых времен, осуществляемая им многоразличными способами, притом так ловко, что обираемые им мастеровые считают его своим благодетелем и даже сами поощряют его на грабеж. В сознании растеряевцев при этом возникает такая путаница понятий, при которой "отец" (так называют Прохора Порфирыча) и грабитель (это ведь они тоже понимают!) сливаются в одном лице, и разобраться во всей этой неразберихе простому человеку до чрезвычайности мудрено. Рядом с Прохором Порфирычем становятся другие обиралы, вроде хозяина фабрики, или кабатчика, власть которого над трудовой "лузгой" безгранична, или "темного богача" Дрыкина, который разбогател то ли грабежом, то ли убийством, то ли нашел клад...

И на фоне этого преуспеяния - безбрежное море растеряевщины с ее бестолковостью, вялой тоской и ненавистью, часто бессмысленной. В семействе "статского генерала" Калачова домочадцы не понимают друг друга, все несчастны и все озлоблены. Светит солнце, но молодая девушка, дочь генерала, стоит у окна с лицом, убитым какой-то тупой ненавистью: "бестолково возмущенная душа ее упорно отталкивает эту, посылаемую небом, ласку". Глава семьи хотел было внести смысл в растеряевскую бессмыслицу, но тем еще больше обессмыслил ее. Создается положение безвыходное и безнадежное. Общее расстройство коснулось и семьи чиновника Претерпеева, которая погибла из-за того, что глава семьи Артамон Ильич, не решился воспрепятствовать жене, пожелавшей отдать в пансион старшую дочь. "Образованная" девушка стала предметом гнусных пересудов и сплетен соседей. Артамон Ильич, не бравший ранее в рот хмельного, не выдержал этой алой травли, спился, заболел и умер в глубокой тоске. Его свели в могилу не хищники, а такие же люди, как и он сам, и это тоже одна из характерных черт растеряевщины: люди обездоленные, не раз битые, бывшие предметом поношения, сами при случае становятся гонителями.

Иные заболевают порой мучительной жаждой самоутверждения, жаждой власти над чужими душами. Таков, например, чиновник Толоконников, поработивший "благодеяниями" осиротевшую семью Претерпеевых и доведший ее до раболепного трепета бесконечными попреками, нелепыми до фантастики. Такова мещанка Балканиха, поработившая своего мужа,

который холостяком слыл за вертопраха и сорвиголову, превратившая его в жалкую тряпку. Кончилось дело тем, что он... умер со страху, застигнутый на попытке без спросу полакомиться вареньем. Это настолько ни с чем не сообразно, что рассказчик ссылается на очевидцев, точно сам не вполне доверяет таким неправдоподобным делам. Речь идет именно о невероятном, но в растеряевском мире господствует своя логика, - логика невероятностей. Так же невероятно и так же естественно превращение мещанки Балканихи в большую силу растеряевского общества, в бесспорный авторитет. "Вес", "почет", "слава", "власть" - вот какими словами характеризует повествователь растущее влияние своей героини. Как Толоконников, она делает добрые дела и так же, как он, обращает в орудие мучительства свой филантропический деспотизм. Всеобщая забитость, невежество, вечный страх за нынешний и завтрашний день предрасполагают людей склонять головы перед человеком, хоть чем-нибудь выделяющимся из общей массы. На этом держится и авторитет самозваного "медика" Хрипушипа, снискавшего всеобщее уважение россказнями о своих познаниях и успехах во врачевании, и чем невероятнее его россказни, тем больше им верят.

В особенности тягостна в изображении Успенского судьба молодого поколения. Есть в "Нравах Растеряевой улицы" маленький эпизод о том, как мальчик-сирота лет девяти, приблудившийся к фабричным рабочим, в день получки вместе со взрослыми просит "лащет". Хозяин дал ему гривенник. "Тот бросился ему в ноги, брякнувшись об пол всем, чем только можно брякнуться: лбом, локтями, коленками..." Эта короткая фраза, заканчивающаяся выразительным многоточием, лучше длинных слов характеризует трагизм ситуации. Шестнадцатилетний подросток Алифан выучился читать и до страсти увлекся единственной прочитанной им книгой "Путешествие капитана Кука", за что и стал посмешищем всей улицы; ему суждено погибнуть в трясинах растеряевского невежества. Гибнет и малый лет семнадцати, самоварщик Кузька, племянник и воспитанник Балкановой, и гибнет он, как ни странно, от достатка. Закормленный и усыпленный с детства до такой степени, что его окаменелая голова была не в силах хоть чем-нибудь заинтересоваться, он становится жертвой удручающей скуки и беспредметной злобы. Погибает он, выпив на спор четверть пива...

Страшны растеряевские смерти, страшны растеряевские жизни, страшна там нужда и страшен достаток. Страшна и растеряевская любовь. Казалось бы, откуда ей взяться там, где человеческим чувствам и зародиться невозможно? И все-таки бледный призрак ее мелькает в последней главе очерков, с горьким сарказмом названной "Благополучное окончание". Прохор Порфирыч женится на девице, которая жила на содержании некоего капитана. Тот выдает ее замуж, назначив приданое в полторы тысячи. И хотя всем ясен корыстный характер этой сделки, все участники ее довольны, а бедная невеста счастлива. Из "метрессы" она превращается в порядочную женщину, это спасение, и когда она говорит своему избавителю: "Голубчик!.. милый мой!..", то в этих незатейливых словах слышится любовь, - жалкая, растеряевская, вряд ли сулящая радость, но все-таки любовь. "Благополучное окончание" так же печально, как и вся растеряевская эпопея. В ней все говорит о том, что больше так жить невозможно. Невысказанная прямо мысль о необходимости и неизбежности обновления просвечивает во всех рассказах автора о людях и нравах Растеряевой улицы.

В рассказе "Будка" (1868), близком по духу и настроению к "Нравам Растеряевой улицы", перед нами застойное существование уездного городка, живущего ничем не поколебленной жизнью. Символ этой старой жизни - полицейская "будка", "кутузка", "сибирка", внешним обликом своим напоминающая "храм муз" на занавесе провинциального театра - черта, не лишенная иронической характерности: возвышенная поэзия и трезвая проза старого порядка слились здесь воедино. Символична и фигура хозяина этого полицейского храма будочника Мымрецова с его девизом "тащить" и "не пущать" - девизом, ставшим с легкой руки Успенского крылатым словом. Это предшественник чеховского унтера Пришибеева, существо, изувеченное, пришибленное и пришибающее, соединяющее в одном лице трепет перед грозным начальством и грозную власть над "шиворотами".

На этом символика заканчивается и возникает быт. В полицейской будке в сфере деятельности Мымрецова совершаются различные житейские происшествия. Через будку движется человеческий поток - жалобщики и виноватые, будка оказывается средоточием событий - событий вполне будничных, обычных, но взятых в их критической точке. Перед читателем проходят человеческие жизни, очень разные и в то же время почти одинаковые, - все неустроенные, неблагополучные, исковерканные. Старуха прачка приходит с жалобой на зятя, который пьет и колотит жену. Как он это делает, прачка показывает жестом, изображающим полоскание белья. Ограничься Успенский этим, он создал бы характерный эпизод из жизни городской бедноты, и только. Но Успенский всегда вносит в такие эпизоды элемент странности, необычности и ощущение неразрешимости противоречий. В данном случае сложность заключается в том, что пьяница муж хочет забрать жену в деревню. Кажется, что может быть хуже положения прачки, стирающей белье с утра до ночи, в жару и в холод на речке. Но нет, перемена этой доли на мужицкую воспринимается городской беднотой как нечто страшное, невозможное. В итоге все запутывается в такой клубок, который ни распутать, ни разрубить невозможно. И так всегда у Глеба Успенского, таков его принцип изображения народной жизни. Он смотрит на эту жизнь не извне, не с некоего расстояния, когда видна только общая картина, а изнутри, когда в глаза бросаются самые мелкие частности, смешные и нелепые на чужой взгляд, но бесконечно существенные и болезненно важные для участников события. Успенский дает им слово, в его рассказах звучит их речь, но когда автор говорит от себя, он все равно говорит за них, он ведет свой рассказ в их категориях мысли, сохраняя в своей речи их понятия, их меру важного и неважного, значительного и незначительного.

В той же "Будке" иной раз оба взгляда - "посторонний" и "свой" - сохраняются, одно и то же событие мы видим как бы двойным зрением. Вот мещанин выдает замуж свою внучку, прекрасную девушку, миловидную собой и к тому же отличную рукодельницу, за хромого пьяницу кондитера. Грустная суть этого события видна сама собой, но при ином взгляде все получает другое значение: кондитер, оказывается, человек состоятельный, завидный жених, лучше многих; все понимают это, даже у невесты "грустное лицо чуть не плакало, но все-таки улыбалось". И мещанин, сердечно жалеющий свою внучку, тем не менее с чувством гордости приготовляется устроить "трагическую свадьбу с музыкой". Даже музыка здесь трагична: на свадьбе будет одна скрипка, но музыкантов трое: один играет, другой дает свою скрипку, третий поставляет струны ("Моя часть - струна", - опять-таки с гордостью говорит он), одного зовут на свадьбу "для музыки", остальных для пропитания. Это трагично, смешно и трогательно: музыкальная троица представляет собой нечто спаянное, артельное, неделимое, но при этом у каждого из них свой характер и своя гордость. Эта черта особенно поразительна: бедняки Успенского, загнанные жизнью почти до потери облика человеческого, не теряют не только достоинства, но именно гордости.

Вообще в произведениях Успенского свет во тьме светит довольно часто. В "Будке" возникает даже своеобразная трагическая идиллия; как ни парадоксально такое сочетание, для Успенского оно вполне органично. Пьяница портной ("нету не пьяниц-то, нету их", - как говорил знакомый нам мещанин) вдруг сердечно пожалел девушку из публичного дома, почему-то привязавшуюся к нему и, протрезвившись не только не прогнал ее со двора, как полагалось бы сделать, но, тронутый ее расположением, оставил девушку у себя. По всему видно, что дело здесь серьезное и что он на ней женится. Это нравственное возрождение человека, это появление новых, незнакомых ему прежде чувств. Они выражаются до чрезвычайности странно, бессвязными речами, какими-то непонятными возгласами, рукопожатиями, недомолвками:

"- Пон-ни-маешь ай нет?

- Понимаю, Данил Гордеич, понимаю-с!

- Ну, и боле ничего! Так я говорю?

- Так, так...

- Ну, и шабаш!.. Только всего!"

В каждой реплике, при всей ее кажущейся незначительности, виден характер ситуации и партнеров: он слегка куражится, она робеет, - все, казалось бы, как прежде, но за всем этим чувствуется радостное удивление перед неожиданным поворотом судьбы, и благородная решимость, и светлая надежда, и многое иное, чему нет названия на обыденном языке.

Характерно, однако, что заканчивает Успенский свою "Будку" не этим светлым (если такое слово уместно здесь) эпизодом, а "трагической свадьбой". Успенский совсем не утешитель: он не хочет обнадеживать и боится благонамеренных обманов. Его голос теплеет, когда он рассказывает, как проблеск надежды мелькнет иной раз среди полной безнадежности и человечность чудесным образом проявится в бесчеловечной жизни, но горечь в его тоне слышна всегда. Он слишком ясно видит силу зла и показывает повседневное течение жизни как ряд житейских драм, к которым все привыкли. Его герои чувствуют, что их жизнь обидно плоха, тягостна, унизительна, да и вообще они уверены, что на многое в этом мире рассчитывать нельзя, что счастье им не суждено, но жить все-таки можно. У них сложилась грустная привычка к беде, и она поддерживает их. Автор видит эту странность, подшучивает над ней и тем усиливает ощущение драматизма. Это совсем особый юмор, юмор мужества, порожденный спасительным умением человека улыбаться над своими несчастьями.

3

В очерках "Разоренье" (1868) образованный молодой человек, нервный и совестливый, не сумевший найти места в жизни, говорит хорошо знакомому рабочему: "Помнишь, сколько ты рассказывал мне о прижимке и произволе, от которых одурел, очумел простой человек; - неужели ты думаешь, что для непростого, для благородного - ну хоть для такого, как я, - этот произвол прошел даром?.." Оказывается, нет. Молодое поколение из обеспеченных семей с детских лет ощущает неправду сложившегося порядка, основанного на произволе и "прижимке". В сердце

подростка, вырастающего в условиях, какие изображены, например, в "Будке", образуется "гнездо апатии и пустоты". Льются беспричинные детские слезы, этими слезами человеческая природа ребенка протестует против нечеловеческой жизни. Опустошение души продолжается и в школе и в университете. Появляются люди растревоженной совести, вся душевная сила которых ушла на то, чтобы понять собственное бессилие, его природу и причины. Большего им не дано, здесь конец их духовного развития, они разрывают с прошлым, проклинают его, стремясь его забыть, но дальше идти не могут. Это люди "пропащие".

"Парамон юродивый" (1877), один из самых замечательных рассказов Успенского, имеет характерный подзаголовок: "Из детских лет одного "пропащего". Рассказчик, как и другие его сверстники, вырастает в постоянном ощущении несвободы, страха перед силами, охраняющими или олицетворяющими сложившийся порядок вещей, в ощущении полной безнадежности и постоянной виновности перед кем-то или перед чем-то. Это дети "обезнадеженных отцов", их сердца "объедены безнадежностью", это люди "обезнадеженного сознания". Не случайно автор на разные лады варьирует понятия и образы безнадежности. На протяжении одного абзаца четыре раза повторяется возглас "пропадешь!", звучащий в конце отрывка как мрачное пророчество гибели: "Пропадешь!" - кричали небо и земля, воздух и вода, люди и звери..." В этом есть что-то апокалипсическое. Но человеку нужна надежда, и он стремится ее обрести, в каком бы виде она ни предстала. Вот почему встреча с юродивым, то есть с человеком, не боящимся богатых и сильных, вселила надежду в "обезнадеженное сознание". В облике тупого, недалекого, безграмотного мужика воочию открылась возможность иного мира, в котором нет купцов, квартальных и полицмейстеров, а есть "рай, ад, правда, совесть, подвиги" - ценности, в реальное существование которых не верят произвол и "прижимка".

В столкновении прекрасной, но робкой мечты с низменной грубой силой, разумеется, побеждает последняя. Как ни жаждут Успенский и его герой-рассказчик иного поворота событий, писатель и на этот раз не отказывается от коренного принципа своего искусства - принципа горькой правды. Властное вторжение произвола символизировано резким стуком кольца калитки. Стук повторяется раз, два и три, появляется "неизвестная фигура": это всего лишь квартальный, но характерно, что он воспринимается как нечто всесильное, таинственное и неотвратимое, как сама судьба. С его появлением улетает "ангел пробужденного сознания", начинается власть произвола, которой, однако, ни с кем не приходится вести борьбу. Одного появления "неизвестной фигуры" достаточно для того, чтобы все покорились ей с готовностью, переходящей в предательство и измену. Измена эта особенно зловеща тем, что она почти незаметна, почти нечувствительна для совести, она выражается не в том, что человек сделал что-то возмущающее душу, а в том, что он не сделал чего-то очень небольшого, не требовавшего никаких подвигов и тем не менее невозможного для людей, испуганных раз и навсегда, безнадежно и безвозвратно, носящих измену в сердце своем: "измена шла, помимо нас, из глубины сердца..." Этим и объясняется жестокая беспощадность самоказни рассказчика, пронизывающая все его повествование. Вот одна фраза из его исповеди: "Горели звезды в небе, благоухал воздух, ангелы приходили, как и всегда, к беседке Парамона, - а мы уж не смели ни думать об этом, ни наслаждаться, ни радоваться..." Торжественные слова о красоте и святости в первой половине фразы резко сменяются словами иной тональности, говорящими о невозвратимой утрате и полной отверженности. Затем после глубокой паузы, после многоточия следует новый абзац, состоящий из одной короткой фразы, которая звучит как итог и как приговор без отмены: "Мы теперь чувствовали себя предателями!"

Читатель должен понять, что рассказчику нелегко было сказать такие слова, тем более нелегко, что они ведь сказаны о людях почти невиновных или же виновных только в том, что делалось помимо их воли, в глубине сердца, и потому достойных если не оправдания, то помилования. Но рассказчик в "Парамоне юродивом" не чувствует за собой права прощать и миловать: он видит далеко идущие последствия нравственной порчи, даже такой, которая видна только под микроскопом художника и психолога. Рассказчик продолжает свой не знающий пощады анализ и самоанализ, в ходе которого выясняется, что любое предательство, пусть даже незаметное, вынужденное, вызванное вне человека лежащими обстоятельствами, с психологической неизбежностью порождает лганье самому себе и клевету на других, на самое жизнь, чтобы смешать высокое с низким и все воспринять как низменное, мелкое и презренное. В языке рассказчика начинается нагнетание синонимов лжи. Сначала: "Сами врали себе, для того чтобы жить..." (это подчеркнуто автором); затем: "Лганье, вздор, призрак, выдумка, самообман и прочие виды лжи, неправды..." и т. д. И завершается это судом самой истории, приговаривающей виновных в предательстве и лжи к высшей каре: от них уходят дети!

Почему же люди начали так остро ощущать свою вину? Их предки жили и умирали без всяких угрызений совести, без чувства ответственности перед будущим, без рефлексии и самообвинения. Она принимали сложившийся порядок как нечто стихийное, не зависящее от их воли и не подлежащее их суду. В. Г. Короленко в "Истории моего современника" назвал такое самочувствие, характерное для поколения его родителей, "устойчивым равновесием совести". Это равновесие было поколеблено предреформенными настроениями; в эпоху реформ и в последующие годы оно сменилось ощущением полной неустойчивости жизни и спутанностью понятий о ней. В рассказе "Неизлечимый" (1875) Гл. Успенский дает изумительную по силе и глубине картину массовой психологии этого периода. У жителей маленького городка, затерянного в уездной глуши, возникает чувство страха, уныния, заброшенности, слышатся беспрерывные жалобы, душами овладевают мрачные предчувствия, ожидание погибели и в то же время недоумение, непонимание, "отчего это вдруг не стало на свете житья". Умирает молодая женщина из захиревшего старинного купеческого рода, раздается удар соборного колокола, ставня стучит от ветра, на улице слышатся шепот и причитанья, вздохи, слова о грехах и каре божьей. Успенский заканчивает этот эпизод, полный тоски и подавленности, короткой фразой: "И колокол и ветер". Эта фраза, выделенная в особый абзац, звучит как символическое обобщение пугающих и бесконечно важных событий широкого исторического значения. "Такие сцены, - говорит вслед за этим рассказчик, - наверное, бывали во дни падения Новгорода и Пскова. Умирала и там и тут идея державшая город и народ..."

Приведенная характеристика общественных настроений переломного периода - это лишь введение к главной для Успенского теме, теме нравственного толчка, переворачивающего жизнь среднего человека. Очерк социальной психологии сменяется рассказом об одном человеке, выхваченном из общей массы; мы слышим его исповедь как бы завершающую все ранее прозвучавшие голоса. Оказывается, что под влиянием перемен, под влиянием особого настроения, отмечающего конец исторического периода, у человека чуткого, с не до конца убитым инстинктом правды, может при благоприятных обстоятельствах появиться мучительное, тяжкое, но в то же время благодетельное заболевание - заболевание совести, отвращение к "свинству", стремление побороть его в себе, начать жить так, чтобы была "правда во всем, чтобы по чистой совести". Это именно заболевание, "беда мучения, болезнь", как говорит человек, которого такая "беда" постигла.

Простодушный герой Успенского рассказывает о своем перерождении именно как о болезни, как о физическом недуге со всеми симптомами настоящей хвори: у него что-то делается в пояснице, в желудке, появляется слабость в теле, зевота, потом "вступает в сердце" и ударяет, точно ножом. Против этой сердечной раны бессильны и порошки для тела и книги для души. Для излечения такого недуга нужна полная победа совести над "свиным человеком", но это далеко не всем дано. Болезнь эта носится в воздухе, она порождена причинами нравственно-историческими: "время такое настало, что совесть начала просыпаться даже и совсем в непоказанных местах", "такое время... судебное..." Это судебное время предъявляет к людям строгие требования, оно требует полного разрыва с прошлым, ухода от него. К несчастью, для героя Успенского выздоровление невозможно: по-старому он жить уже не в состоянии, а "уйти - коротка душа". Его судьба - быть "пропащим", "неизлечимым". "Эта болезнь - мысль", - говорит рассказчик от себя, подводя итоги изученной им истории болезни, поразившей в переходную пору не одного лишь героя Успенского. Совершается медленная, по крупинке, перестройка русской души "во имя самой строгой правды". Успенский выступает как поэт и истолкователь этой перестройки, как ее историк и психолог.

4

Так проявляются законы нового времени в условиях маленького городка, среди городских низов и в его среднем слое, у обывателей, подверженных лишь смутным настроениям, и у людей, впервые познавших горечь мысли. Однако, Россия времен Успенского - это прежде всего страна убогих деревень. Что же принес туда "колокол и ветер" истории? Книжку чеков... Рассказ под этим названием ("Книжка чеков", 1876) Успенский начинает с того, что показывает самый этот предмет ("Мала-мала штучка, а какую прорву денег вобрала!") и рисует недоумение простого человека перед этой диковинной загадкой - недоумение, соединенное с неясным ощущением греха. Недоумение постепенно проходит, и загадка разъясняется. Книжка чеков - это эмблема новых времен. Самое понятие нового времени, как всегда, подвергается у Гл. Успенского художественно-социологическому исследованию. Появляются яркие, контрастные образы двух купцов, старого и нового. Это не индивидуальности, а собирательные портреты, в разработке которых научный и художественный методы соединяются в нераздельное целое. Успенский и в этом случае ищет прежде всего психологическую суть общественных процессов. Понять социальное явление значит для Успенского очеловечить его и проникнуть в душевную глубину человека, даже если перед нами не единичный человек, а некий условно-собирательный образ. Применяя этот прием, Успенский подмечает, что старый, дореформенный купец, всю жизнь лгавший на каждом шагу и потевший за чаем, в глубине души знал, что он живет "не совсем чтобы по-божески". Зато новый, пореформенный купец с чековой книжкой и бумажнике не только не сомневается в своей добродетели, но твердо знает что, заботясь о личном преуспеянии, он дает хлеб неимущим и оживляет мертвые местности. Глубокая уверенность нового купца Ивана Кузьмича Мясникова в собственной непогрешимости, мертвый сон его совести, непомерная сила его денег - во всем этом для Успенского есть нечто отталкивающе страшное, но самое страшное для него в том, что и крестьяне в конце концов, в результате мучительного опыта, вынуждены будут признать в Иване Кузьмиче своего благодетеля, нисколько при этом не заблуждаясь в оценке его личности, а в его чековой книжке увидят нечто не вполне ясное, лежащее вне добра и вне греха, но сказочно-богатырское.

Перелом крестьянского сознания интересует автора прежде всего в больше всего. В понимании Успенского - это социальный и психологический процесс, имеющий свои этапы, промежуточные стадии, оттенки и детали; и в этом процессе все важно, все значительно - и крупное, и мелкое, и даже мельчайшее. Успенский стремится ничего не упустить и все обозначить. Под его пером возникает сложнейший рисунок, разобрать и изучить который невозможно в небольшой статье. Укажем только на некоторые черты этого процесса, как он предстает в "Книжке чеков". Начинается все с освобождения крестьян, с окончания "обоюдной меланхолии барина в мужика", с обострения у крестьян чувства собственности, личной и общей ("мое" и "наше"). Затем - "мечты", пленительные, неопределенные мечты крестьянина, уносящие его мысли "высоко-высоко, далеко-далеко от крестьянской избы...". На этом фоне развертывает Успенский потрясающую эпопею бесплодной борьбы мужиков за свои "права", - борьбы, полной драматизма, самой высокой, одухотворенной жертвенности и в то же время наивности, детской беспомощности, внутренней и внешней незащищенности. Борьба народа - богатыря и ребенка одновременно - с железной машиной обновленной государственности кончается его поражением и разорением. В движущейся картине крестьянской психологии, разработанной Успенским, появляются, сменяя друг друга, надежда, гордое упорство, первые проблески трезвого понимания, нежелание смириться с неизбежным, окаменение души и сердца, фаталистическая пассивность, готовность помереть, презрение к себе, "полный разгром, разврат", воровство, наглость, пьянство, нравственное падение и, наконец, чудесное спасение. Оно приходит от новой денежной силы; она, эта сила, понимает важность каждой пары рабочих рук, назначает твердую цену всему, что может принести пользу, в том числе человеку, и тем самым приучает его знать себе цену. Другое дело, что цена ему полтина, зато все становится ясно и просто, устойчиво и крепко. Никаких фантазий, никаких мечтаний о душе, правде, добре, трезвое признание нового порядка, циническое отрезвление от всяких иллюзий.

Поразительно, что, как и в других подобных случаях, Успенский рассказывает обо всем этом, смеясь. Но ведь в "Книжке чеков" он говорит о мучениях и болях, о незаслуженных обидах, о торжестве наглой силы, об осквернении народной души. И все-таки он смеется. Он видит, что взрослые, бородатые мужики ведут себя как малые дети, это очень грустно и очень смешно, и автор улыбается над странностью современной истории. Это улыбка мыслителя, увидевшего смешную сторону трагедии. Он ее участник наравне со своими героями, он душевно с ними, и все-таки он от них отдален, потому что видит и понимает многое, что недоступно им. Однако, при всей своей умудренности, он бессилен, как они, и в этом также источник горького комизма. Трагически смешон и "счастливый" финал рассказа - спасение погибавших людей путем превращения живого, думающего и чувствующего существа в "человека-полтину". Так человек становится цифрой. Потом он совершенно утратит свою самостоятельность, неделимость, целостность и станет уже не целым числом, а только дробью. Об этом превращении как уже о свершившемся факте Успенский рассказал десятилетием позже после "Книжки чеков" в цикле "Живые цифры", куда вошли и помещаемые здесь очерки 1887 года "Четверть" лошади" и "Квитанция".

Мучительное приспособление к новым порядкам кончилось, "купонный" строй упрочился, и все к нему привыкли, установилась "власть капитала" (так думал Успенский назвать новую работу, которую не успел осуществить). Все притерпелись и к этому строю и к своему бессилию перед его законами, у образованных людей временами появляется поэтому потребность "всестороннейшего облаивания жизни". Это "облаивание" дает выход накопившейся горечи, порожденной бросающимся в глаза универсальным принципом современной жизни, который выражается коротеньким словом "хапнуть". И вместе с тем это "облаивание" дает образованному

обывателю удовлетворенность и самоуспокоение, оно не влечет ни к знанию, ни к делу. Герою же Успенского, от чьего лица ведется повествование, "облаивания" мало, ему нужна истина, хоть тяжкая и болезненная, но истина, и он находит ее в статистических таблицах, усеянных цифровой крупой. Конечно, точная и сухая наука статистика дает разностороннейшую картину жизни, но и она отчасти успокаивает чувство строгостью и безличностью своего научного метода. Чтобы лишиться этого спокойствия, нужно увидеть статистические данные "въяве и вживе", например, загадочную "четверть лошади". Такая странная цифра может вызвать замешательство, раздражение и приступ "облаивания" всего на свете, в том числе и статистики. "Но вот, - говорит рассказчик, - совершенно неожиданно со мною происходит переворот: я собственными глазами увидел четверть лошади!" Характерно здесь это слово "переворот". Он превращает точное знание в искусство и лишает науку ее спокойствия. Этот "переворот" обозначает прозрение и зарождение особой науки - науки видеть. Она лежит в основе разработанного Успенским метода, объединяющего в себе "цифровую мушкару" и человеческие судьбы, точное знание и художественное прозрение, литературу и публицистику. Жанровые тонкости при этом интересовали Успенского меньше всего.

В свете такого искусства "четверть лошади" оказывается... деревенской бабой, на долю которой досталась только дробь того, что ей нужно; причудливый ход авторских ассоциаций свободно сближает ее с цирковой акробаткой на тонкой проволоке: на ее долю тоже досталась какая-то дробь. Статистические таблицы и художественная интуиция согласно говорят о том, что перед нами не частные случаи, а общий порядок; в голосе автора начинают звучать патетическое обличение, сатирический гнев и одновременно столь привычная для него насмешка над безрадостными нелепостями жизни. "Нецелое число, именуемое бабой, шло дальше и дальше", оно, это одушевленное число, навьючено до такой степени, что может идти только с осторожностью акробатки. Рассказчик следует за ней, но не может ей помочь, чтобы не нарушить точности научного метода, - в такой ситуации есть над чем посмеяться.

Смех Успенского звучит даже в таких случаях, когда, казалось бы, для него вовсе нет места, например, в рассказе "Квитанция", одном из самых страшных у Гл. Успенского. Он звучит не умолкая, когда автор повествует о стороннике научного метода, говорящем тяжеловесным языком с бесконечными "что" и "который", об "отце- и матере-образных дробях" и о нулях в человеческом облике. В том же тоне рассказывается о таких сюжетах, как "покойницкий вокзал", как "вывозка" мертвых младенцев из воспитательного дома. Только с появлением главной героини рассказа, "аккуратной" петербургской белошвейки, безуспешно пытающейся разыскать по квитанции своего умершего ребенка, смех автора смолкает вовсе и сменяется скорбью и слезами его героини, "истерическим дрожанием всего ее тела", короткой вспышкой ее гнева, - короткой потому, что на длительное проявление человеческих чувств у нее нет времени. А суета и беготня на "покойницком вокзале", шум и выкрики людей, вся эта напряженная беспорядочная динамика сменяется в конце минутой благоговейной тишины; перед нами возникает скульптурно застывшая группа, две фигуры: скорбящая мать, в безмолвном горе перевесившаяся через деревянную ручку скамейки, и рядом с ней - повествователь, который сидит недвижимо и боится дохнуть.

Современники говорили об этом рассказе, что здесь искусство Успенского достигает высшей точки, оно даже перестает быть искусством в обычном смысле и превращается в крик боли. Но это были не безвольные стоны, а возгласы негодования против "буржуйной орды", против "купонного" строя с его "железными законами" и социальными язвами. "Пусть, - говорит Успенский, - эти законы действуют - они точно железные, - но пускай же мы получим умение и

право ненавидеть язвы, содрогаться от них, кричать от испуга и думать о том, чтобы их, этих язв, не было" ("Мечтания", 1884).

5

Превращая человека в полтину, в дробь, в ноль целых, "господин Купон" прежде всего отрывает его от земли. С этого и начинаются все язвы его жизни. Тайна крестьянского благополучия во власти земли, считал Успенский. В этом была его народническая вера. Он ясно видел, что крестьянский труд неимоверно тяжел, что порожденные им нравы грубы и порою жестоки, но вместе с тем он уверял себя и своих читателей, что полная зависимость крестьянина от земли приносит ему счастливую возможность не "выдумывать" себе жизнь, не решать мучительных нравственных задач, не выбирать жизненных путей, а делать то, что велит мать - сыра земля. Власть земли приносит крестьянину освобождение от личной ответственности и дает ему чувство слитности с природой, душевное спокойствие, цельность и силу. "... Огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно сильна и детски кротка, - словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, - народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук - до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность ослушания ее повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование". Это Успенский сказал в очерках "Власть земли" (1882), об этом же он писал во многих и многих своих произведениях.

В такого рода взглядах и настроениях Успенского ярко сказалась народническая идеализация крестьянского строя жизни, крестьянского труда и "аристократического крестьянского типа". Здесь выразились народническая мечтательность и народнический романтизм. Вместе с тем уже давно было замечено, что в среде народников Успенский стоит одиноко со своим скептицизмом, отвечая иронической улыбкой на общую иллюзию. {Слова И.А. Гурвича, сочувственно процитированные В.И. Лениным в работе "Что такое "друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?"} В самом деле, даже в его умилении властью земли слышится грусть оттого, что эта власть кончается. Он с таким глубоким чувством говорит о благе жить в ежеминутной зависимости от "травинки зелененькой" именно потому, что видит, как эта зависимость насильственно прерывается "железным шествием" истории и "проделками господина Купона". Недаром замысел "Власти капитала" возник у Гл. Успенского после "Власти земли", в этом была несомненная внутренняя логика. Кроме того, гибкая и тонкая художественная мысль Успенского порою делала такие повороты, при которых "власть земли" представала в совсем неожиданном освещении.

Возьмем для примера рассказ Успенского "Взбрело в башку" (1888), который представляет собою своеобразную художественную иллюстрацию к теории "власти земли". Обоснование и защита этой теории приобретает здесь почти парадоксальный характер. Героя этого рассказа земля лишь на короткое время освободила от своей власти, одарив неожиданно богатым урожаем, и он чуть не погиб от безделья и блажи. Только едва не замерзнув, он опамятовался, вернулся под ярмо привычного труда и тем спасся. Покарав его урожаем и досугом, бог спас его морозом и увечьем. Получается, что досуг мужику вреден, а полезен лишь беспрерывный труд... В действительности же смысл рассказа далеко не так прост. Из-за чего чуть не погиб Иван

Алифанов? Из-за внезапно вспыхнувшей в минуты досуга любви, самой нежной и поэтической любви к девушке, которую он знал в далекие дни молодости. Это любовь мечтательная - к видению, возникшему в воспоминании. Сперва это как бы внезапный толчок памяти, потом начинается работа мысли, переоценка всей прежней жизни, осознание своей вины перед женой, которую взял "для хозяйства", "как скотину", "перед которою он кругом виноват и с которой он поступил как Иуда-предатель". Поддавшись "дури", он начинает жить, таким образом, сложной и возвышенной духовной жизнью. Прежняя его возлюбленная теперь для него не воспоминание, не милый образ былого, а нечто постоянно с ним пребывающее, его "сокровище, солнце, сияние".

Успенский шаг за шагом прослеживает причудливую историю страсти старого, больного мужика, его любви к призраку, к воспоминанию. Автор стремится при этом к полной точности, ему важны все подробности и оттенки этого чувства с его страданиями и радостями. При этом автора интересует не примитивно-непосредственное в натуре его героя, а глубокие и сложные возможности, заложенные в его характере. И эти возможности проявляются тогда, когда он выходит из-под власти земли. Эта власть спасительна для него, она устанавливает и поддерживает его связь с широким миром; в финале рассказа к нему возвращается все им ранее утерянное - "и небо, и земля, и дождь, и снег", и его собственная духовная цельность. Все это так, но эти благодетельные стихии действуют лишь при условии бессознательного существования. Стоит только крестьянину "задуматься" и сразу перед ним встает его "ужасная, черная, темная жизнь", ее бытовая жестокость и привычная несправедливость. Значит, лучше не "задумываться", а жить стихийной жизнью нерассуждающего существа, подобной жизни дуба, который "просто растет, просто зеленеет, так, сам не зная зачем" ("Власть земли") ? Вряд ли Успенский так думал, рассказывая историю Ивана Алифанова. Его герой возвращается к прежней жизни, но возвращается совсем иным человеком, резко изменившимся под влиянием нового душевного опыта, приобретенного в период "беззакония", страстей и мечтаний. "И прежде всего в нем быстро возникла и созрела пламенная любовь к жене, - вот с чего начинается возвращение блудного сына деревни под отчий кров. А раньше в глазах Ивана Алифанова "пламенная любовь к жене" была такой же "дурью", как и любовь к Аннушке. Расставшись с патриархальной непосредственностью и бездумностью, герой Успенского в итоге пережитой драмы стал не хуже, а лучше. Автор видит это и показывает со всей художественной честностью.

И все-таки отрыв мужика от земли, его раскрестьянивание пугали Успенского, а между тем старый общинный строй разрушался на его глазах, и жизнь все яснее говорила ему, что власть земли во всей ее цельности восстановить нельзя. Вопрос "что будет?" предстал перед Гл. Успенским во всей его пугающей неопределенности. "Конечно, - думал он, - Купон будет уничтожен, но не так, чтобы очень скоро. Напротив, в его истории будут еще небывало блестящие страницы" ("Не все коту масленица", 1888). Слова о "блестящих страницах" имели для Успенского зловещий смысл, и в близком будущем ничего отрадного для России он не ожидал. Но вера в неизбежность конечного торжества человечности, правды и красоты во всем мире не покидала его никогда. Больше того - чем мрачнее были впечатления сегодняшней жизни, тем с большей уверенностью говорил Успенский о полной гармонии, ожидающей человечество.

Герой рассказа Гл. Успенского "Выпрямила" (1885) сельский учитель Тяпушкин, живущий "в глуши деревни, измученный ее настоящим, опечаленный и поглощенный ее будущим", размышляет о судьбах человечества и всюду, во все времена и у всех народов видит "удивительные проявления жаждущей совершенства человеческой души". В этой жажде совершенства он усматривает залог лучшего будущего человечества. Герой рассказа не праздный мечтатель и не баловень судьбы, склонный к прекраснодушному оптимизму. Напротив, его жизнь - это "ряд... тяжелых сердечных ощущений, беспрестанных терзаний, без просвета...". В этом смысле он сродни многим другим опечаленным жизнью героям Успенского, от лица которых часто ведется рассказ в его произведениях, но в отличие, например, от тех "пропащих", о которых речь шла ранее, он человек новый, он из тех, которые умеют бороться и знают, во имя чего борются. Упоминавшийся выше "пропащий" молодой человек из "Разоренья", объяснявший, почему он вырос "ненастоящим", уверял своего собеседника-рабочего, что появились уже люди сильных убеждений, какие и нужны сейчас народу. "Есть и настоящие... ты встретишь - погоди!"- говорил он.

Тяпушкин - один из этих "настоящих". В деревне он живет не по воле случая, а по сознательному влечению, заставившему его "идти в темную массу народа", его называют "нигилистом", на него "строчат донесения", словом - это человек революционного сознания. Он-то и убежден, что "терзания без просвета" не могут быть вечным уделом людей, он-то и улавливает ту светлую нить, которая тянется через всю человеческую историю и дает людям (даже и сейчас!) ощущение радости и гармонии. Это поэзия земледельческого труда, поэзия единения человека с природой. Это революционное подвижничество, "гармония самопожертвования", олицетворенного в девушке строгого, почти монашеского типа, сидящей на скамье подсудимых; прототипом ее, как известно, была деятельница народнического революционного движения Вера Николаевна Фигнер. И рядом с этими проявлениями гармонии в настоящем неожиданно и смело возникает у Гл. Успенского образ Венеры Милосской. В сознании Тяпушкина эта античная статуя говорит, однако, вовсе не о прошлом, а о настоящем и будущем. "Каменная загадка" заключает в себе пророчество о "выпрямленном" человеке, и пусть оно, это пророчество, осуществится только в бесконечно далеком будущем, даже и очертаний определенных не имеющем, все равно оно имеет прямое отношение к настоящему, к "жаждущей совершенства" душе современного человека.

Здесь пропадает различие между злободневным и вечным: подлинная красота, в чем бы она ни выражалась, всегда злободневна, потому что она выпрямляет душу "искалеченного теперешнего человека" и говорит ему о том, что нельзя человеку быть "лакеем, банкиром, нищим, кокоткой", нельзя свыкаться с таким порядком, который превращает человека в скомканную перчатку, нельзя допустить, чтобы "начинающий жить человек-народ" позволил унизить себя до этого. Венера Милосская объяснила герою Успенского, что по его силам ему можно и должно "идти туда", - так кратко и многозначительно определил он свою дорогу, свой выбор. Успенский говорил от лица людей, которые уже сделали этот выбор, но говорил не только о них, но и о тех, кто еще находится на пути, кто ищет. Он рассказывал, что его герои увидели "там", в народе, среди крестьян и среди городской бедноты, он показал страшное неустройство народной жизни и порожденные им беды и терзания единичного человека и "человека-народа". В его произведениях люди труда и связавшие с ними свою судьбу люди скорбной мысли и великих предчувствий в разговорах, мечтах и исповедях удивительными словами, искренними до последнего предела, простыми до наивности, взволнованными и тревожными, раскрыли свои стремления и надежды.

Глеб Успенский написал много томов, в наш сборник вошла совсем небольшая часть его сочинений, но они характерны для всего его творчества. Как и все, что писал Успенский, они до краев наполнены крупными и мелкими чертами русской жизни его эпохи. Эпоха Успенского уже давно ушла в прошлое, да и написаны его произведения в необычной манере - полубеллетристической, полупублицистической; все это создает некоторые трудности для современного читателя. Но если, преодолев эти трудности, он войдет в художественный мир Успенского, погрузится в него, то жизнь минувшего века захватит его целиком. Он увидит ее с близкого расстояния, в ее будничном облике, в ее прикрепленности к текущему дню и одновременно в ее высоких порывах к иным временам. В произведениях Успенского веет ветер истории, поэтому сегодняшние заботы людей рассмотрены в них в свете отдаленнейших целей человечества на его пути к совершенству.

Лев Троцкий. О Глебе Ивановиче Успенском[52]

I

/* Статья об Успенском (часть большой и до сего дня незаконченной работы) была напечатана в 1902 году в журнале "Научное Обозрение". В тот период слово марксизм и имя Маркса были строго изгнаны из легальной печати. Приходилось говорить обиняками. Читатель должен все время иметь в виду это обстоятельство. Л. Т.

Из народников-беллетристов, столь славных в свое время и столь основательно и, надо сознаться, справедливо забытых в эпоху литературной "смуты"*, один Успенский не будет снесен всепожирающим потоком новых общественных настроений и отражающих их литературных течений, -- как драгоценный камень, он будет и будет чаровать игрой не тускнеющих от времени красок и огней. Единственный среди многих, мученик собственной бесстрашной мысли, он глядит скорбно-проникновенным взором через головы своих сверстников и единомышленников (единомышленников -- по злой иронии общественных судеб) -- в глаза будущему.

/* "Смутой" назвал Н. К. Михайловский эпоху появления марксистов в легальной публицистике, декадентов -- в поэзии.

Тому поколению, к которому принадлежит автор этой работы, Успенский должен быть вдвойне дорог. Прежде всего потому, что его произведения представляют собою -- к сожалению, крайне мало использованный в свое время -- арсенал, содержащий богатейший выбор оружия для борьбы как раз с тем направлением, в которое условия общественности загнали самого Успенского. В этом его общественное значение, которое и будет, между прочим, выяснено в этой статье. Вторая причина особливого значения Успенского для указанного поколения имеет -- позволим себе такое выражение -- лирический характер. Это требует пояснения.

Начало 90-х годов -- духовные Wanderjahre (годы странничества) того течения, которое исторически и логически вытекло из народничества, вытеснив это последнее из сферы общественного сознания. Эти Wanderjahre, как всякое время душевного перелома, имели глубоко-драматический характер. То был момент ликвидации пришедшего в ветхость идейного

[52] Источник текста: Л. Троцкий. Сочинения. Том 20. Москва-Ленинград, 1926 г.- http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl455.htm.

инвентаря, когда многим приходилось отрывать от души старые догматы, из которых поток времени вымыл все реальное содержание, оставив лишь пустую, но родную душе оболочку. То был момент генеральной самопроверки, испытания привычных догматов при помощи иной доктрины. Эта самопроверка и это испытание обнаружили полнейшее духовное банкротство. С ужасом пришлось убедиться, что

"... не осталось слова,

Которое б вконец не истрепалось,

Свой истинный не потеряло смысл" -

пришлось убедиться, что ход общественного развития превратил в предрассудок обломки древней правды и из вчерашней истины сделал сегодняшнюю ложь.

Так называемая "перемена фронта" произошла на поверхностный взгляд чрезвычайно быстро и притом почти с механической простотой, по такой приблизительно программе: Маркс родил Бельтова, Бельтов родил свою книгу*, а от этой книги, если верить г. Михайловскому, "современная смута" стала есть. В действительности процесс был гораздо сложнее и мучительнее. Мы меньше всего склонны отрицать в изображаемом нами идейно-общественном процессе роль, скажем, той или иной книги, но все же, повторяем, это были только книги...

/* Н. Бельтов (Г. В. Плеханов). "К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Ответ гг. Михайловскому, Карееву и Ко". СПБ. 1895.

Когда этот процесс завершился, оказалось, что многие писатели, которые еще недавно, почти вчера, были тебе так близки, говорили одним с тобой условным языком и защищали неизменными аргументами столь дорогое пустое место, -- эти писатели тебе чужды, не заражают тебя более своими сакраментальными "формулами", в которые некогда укладывалось и твое настроение, говорят не так, как ты, чувствуют не то, что ты, а главное, оказалось, что пустое место есть пустое место и больше ничего*.

/* Когда касаешься этого обстоятельства, невольно вспоминается рассказ о том, как при дворе одного из русских царей был посажен куст и для охраны этого куста поставлен часовой. Год приходил на смену году, куст превратился в дерево, часовой сменял часового... Дерево состарилось, засохло и, наконец, превратилось в "ничто", земля, питавшая некогда его корни, сравнялась, уничтожив самые следы его существования, а часовой и по сей день сменяет часового по правилам воинского устава, ревниво охраняя пункт, где некогда был все же августейший куст, а ныне -- увы! -- пустое место...

И как отрадно было убедиться, что в пережитой беспощадной душевной ломке лучше всего уцелел Глеб Иванович Успенский. Этот неутомимый правдоискатель, столь близкий, столь родной до периода внутренней ревизии, стал после нее -- для тех, кто к нему снова обратился, -- вдвое дороже и роднее. Изменившееся настроение, новая точка зрения не только не нанесли ущерба его писательскому облику, но -- напротив -- помогли открыть в нем его истинный смысл и непреходящее значение; они показали, как этот рыцарь духа, по рукам и ногам опутанный сетями ложной общественной теории, умел завоевать для себя широкую свободу и в этих сетях; они осветили сложную и глубокую драму писательской души, которую стихийный ход общественного развития загнал в тупой переулок.

Трудно назвать другого писателя, в котором столь страстное стремление понять жизнь, как она есть, проникнуть сознанием до ее основ, до сердцевины, сочеталось бы с таким жадным исканием правды в жизненных отношениях, с такой верой в необходимость воцарения красоты и гармонии человеческих отношений. Подобное сочетание художественной правдивости, исключительной ненависти ко всякой фальшивой идеализации, жажды проникновения в смысл действительности, словом, беззаветной любви к правде-истине, -- со жгучим стремлением к гуманизации общественных отношений, с неугасимой потребностью веры в человека и его будущее, словом, с напряженной тоской по правде-справедливости, подобное, говорим, сочетание при иных общественно-исторических условиях могло бы стать залогом высокой духовной цельности, счастливой внутренней гармонии и радостной удовлетворенности... Увы! Глебу Успенскому две указанные стороны его духовной натуры не дали гармонии и удовлетворения. Властным велением жизни эти две основные движущие силы его души отделились друг от друга и постоянно тянули в противные стороны. Стоило этой измученной душе со своей тоской по идеалу ухватиться за одну из абстракций, которыми столь богато народничество, как проникновенное сознание художника указывало на истинный смысл абстракции, ее социальную природу и полное отсутствие в этой природе законных мотивов для идеализации. На помощь стоявшему на страже художественной правды сознанию приходил, чаще всего, юмор, которым Успенский был так богато наделен, который он так щедро расходовал, -- приходил, и срывал покров обаяния с пустого места. Кто бы ни побеждал в этом трагическом междоусобии, изо дня в день совершавшемся внутри писательской души, жертвой борьбы всегда оказывался сам писатель, душа которого безжалостно разрывалась на части.

Характерная особенность письма Успенского, которая г. Михайловскому представляется как неразложимая "склонность"*, является на самом деле лишь симптомом внутреннего раскола. Доводя с беспощадной прямотою диаметрально противоположные положения до "самых крайних логических концов", Успенский, конечно, не занимается диалектическими экзерсисами, он не применяет также этой манеры преднамеренно, для более яркого освещения вопроса, -- он просто дает поочередно волю каждой из двух соперничающих "страстей" своей души, а сам присутствует на этом трагическом диспуте, истекая кровью и скрывая юмором от читателя -- отчасти и от себя -- свои терзания.

/* "Успенский склонен ставить поднимающиеся в нем, под напором жизни, вопросы ребром, "бесстрашно" и без соображения с какими бы то ни было доктринерскими мерками ("формулами прогресса". Л. Т.), доводя известную мысль до самого крайнего ее логического конца, чтобы вслед затем так же бесстрашно произвести эту самую операцию над другою, может быть, прямо противоположною мыслью". ("Русское Богатство", 1900 г., XII, 167. Курсив мой. Л. Т.)

Писать о Глебе Успенском -- трудное и ответственное дело. Многострунна душа этого писателя, многосложны его произведения. Тут, рядом с плодом художественной интуиции, возвышающимся до степени строго научного обобщения, стоит аналитическим путем добытый публицистический вывод, получающий немедленно художественное воплощение; тут беспощадно правдивые образы действительности и мучительные стоны души, поранившейся об острые выступы жестокой действительности; тут фальшивая публицистическая тенденция под ударами художественной правды и художественная правда в борьбе с жаждой правды общественной... и главное, все это, и заблуждение и истина, -- сок нервов и кровь сердца; да простится эта заношенная фраза! -- да, Успенский имел несравненно больше прав сказать ее о

себе, чем сам Берне! Понятно, значит, в какой мере наследство этого писателя требует бережного и внимательного к себе отношения.

II

Жалеть ли о художественно-публицистической раздвоенности писательской деятельности Успенского? Мы затрудняемся ответить на этот вопрос категорически. Во всяком случае при решении его мы бы ни на минуту не упускали из виду, что, если бы Успенский оставался только художником, он не дал бы нам ни "Власти земли", ни "Разговоров с приятелями", ни очерков "Крестьянин и крестьянский труд", составляющих в совокупности художественно-публицистическую поэму мужицкой жизни, -- поэму, с начала до конца выдержанную. Здесь все стороны крестьянского бытия и миропонимания выведены с любовной тщательностью из особенностей земледельческого труда, -- и это тем замечательнее, что Успенский не только не соображался, как выражается г. Михайловский, ни с какими "доктринерскими мерками", но вряд ли и был сколько-нибудь близко знаком как раз с той доктриной, которую он с таким блеском иллюстрировал своим анализом мужицкой жизни и мысли.

Ярко выраженная тенденция в писаниях Успенского отмечалась критиками не раз. Одного из этих критиков г. Михайловский вразумляет: "Сам Успенский объяснил мужицкую психику не экономическими условиями, -- по крайней мере, не ими на первом месте. Он говорит в очерке "Не суйся": "При этом, во-первых, я должен был корнем этих влияний признать природу. С ней человек делает дело, непосредственно от нее зависит". И, например, дождь и бездождие, на которое указывает далее Успенский, имеют, конечно, очень важные экономические последствия, но сами-то по себе не суть экономические явления. Это, впрочем, мимоходом"*.

/* ("Русское Богатство"., 1900, XII, 163.) Г-н Михайловский все "мимоходом": пощебечет и дальше. И куда он так торопится? Речь идет об Успенском, вопрос затронут основной: отношение мужицкой психики к мужицкой экономике. Г-ну Михайловскому известно, что "легкомысленное отношение к серьезным вещам всегда непозволительно", и кроме того, что "писания Успенского требуют особенно вдумчивого внимания" (там же, 167). Это не помешало, однако, г. Михайловскому, как мы сейчас покажем, в своем олимпийском "мимоходом" проявить по отношению к серьезнейшему вопросу писаний Успенского беззаботнейшее легкомыслие, нимало не стесненное путами "вдумчивого внимания".

"Дождь и бездождие сами по себе не суть экономические явления"... Убийственно! Природа, как известно, вообще "сама по себе" не экономическое явление, а Успенский выводит психику мужика из его непосредственной зависимости от природы, в том числе от дождя и бездождия. Что же сталось при сей оказии с "экономическим базисом"? Но мы все-таки позволим себе спросить: окажут ли дождь или бездождие одно и то же влияние на земледельца-мужика и на свободного туриста, на петербургского писателя, проживающего на даче, и на фабричного рабочего? Конечно, нет. Чем же объясняется, что одно и то же явление -- дождь, бездождие -- производит на мужика совсем особливое действие, исключительное и по размерам и по форме? Объясняется это, по Успенскому же, исключительно характером земледельческого производства. Дождю в той только мере дана власть формировать мужицкую душу, в какой он положительно или отрицательно фигурирует в земледелии, способствуя или препятствуя земледельческому труду на исторически данных технических основаниях. Почему природу надлежит признать "корнем" мужицкой жизни и мысли? Потому, что с ней, с природой, мужик "делает дело,

непосредственно от нее зависит". Мы с г. Михайловским "не делаем с природой дела", непосредственно от нее экономически не зависим, а потому и не можем называть ее своим "корнем". Дождь сам по себе, действительно, не экономическое явление... Но "дождь сам по себе" не играет никакой роли: он властен над крестьянской душой постольку, поскольку он нужен для овса и сена.

Если бы Успенский сказал, что обилие или недостаток влаги создают различные темпераменты, вообще -- психические типы, которые и проявляют себя в разных типах производства, общественного строя и т.д., тогда победоносное замечание г. Михайловского, что дождь и бездождие не суть экономические явления, имело бы смысл. Но ведь Успенский учитывает влияние дождя исключительно с точки зрения его отношения к производственному процессу на данных технических основаниях и поясняет свою мысль такой превосходной иллюстрацией: он мысленно вводит паровой плуг в крестьянское производство; в числе прочих замечательных результатов оказывается: "Так как плуг вздирает землю и в дождь и в грязь, то количество восковых свечей должно несомненно убавиться". (II, 557.) Ясно? Дождь и бездождие сохраняют прежнее соотношение. Изменилось лишь одно из технических оснований земледельческого процесса, -- вместе с тем изменяется влияние дождя на мужицкую психику*.

/* Совершенно с равным успехом г. Михайловский мог бы построить такое рассуждение. Один из героев Успенского вполне, мол, точно отмечает следующее свое наблюдение: "Кормиться надо... Душа просит прокорму" ("Тише воды, ниже травы"). Известно, что потребность в прокорме, -- мог бы пояснить г. Михайловский, -- лежащая в основе всей экономической деятельности человека, сама по себе не есть явление экономическое. Следовательно...

Что сказать о писателе, который после столь продолжительной, шумной и многословной полемики обнаруживает столь вопиющее непонимание азбуки разбираемых им вопросов? Но поищем смягчающих вину обстоятельств. Они под рукою. Г-на Михайловского соблазнили в приведенной им цитате наличность слова "природа" и отсутствие упоминания об "экономике". Конечно, если бы Успенский сознательно руководствовался доктриной, он избег бы той формулировки, которая смутила его комментатора. Но не говоря о том, что смысл и этой неудачной формулировки вполне ясен, если отнестись к ней не с фразеологической поверхностью, а с "вдумчивым вниманием", -- у Успенского та же основная мысль выражена десятки раз гораздо яснее и научнее. Напомним г. Михайловскому.

"Множество явлений русской жизни, -- говорит Успенский, -- русской действительности оказываются необъяснимыми или объясняются фальшиво, ложно, и досадно терзают вашу наблюдательность потому только, что источник этих явлений отыскивается не в особенностях земледельческого труда, сотканного из непрерывной сети на первый взгляд ничтожных мелочей, а в чем-либо другом. (II, 544.)

А вот особенно поучительная цитата (с несущественными сокращениями). "Построенное на таком прочном, а главное, невыдуманном основании, как веления самой природы, миросозерцание Ивана Ермолаевича, создавшее на основании этих велений стройную систему семейных отношений, последовательно, без выдумок и хитросплетений, проводит их и в отношениях общественных... Требованиями, основанными только на условиях земледельческого труда и земледельческих идеалов, объясняются и общинные земельные отношения... Эти же сельскохозяйственные идеалы -- и в юридических отношениях... Объяснения высшего государственного порядка также без всякого затруднения получаются из опыта, приобретаются крестьянином в области только* сельскохозяйственного труда и идеалов". (II, 553.)

/* Курсив Успенского; неоговоренные курсивы -- мои. Л. Т.

Из этой важной для нашей задачи цитаты, в которой в качестве всеопределяющего начала сперва называются "веления самой природы", а далее "только условия земледельческого труда и земледельческих идеалов" (из того же труда, как показывает Успенский, вытекающих), ясно, как солнце полудня: во-первых, что для объяснения крестьянской жизни Успенский пользуется "природой" и "экономикой" безразлично; во-вторых, что, по Успенскому, "веления самой природы" учитываются крестьянской психикой ровно в той мере, в какой они учитываются земледельческим трудом. Из множества относящихся сюда разъяснений Успенского, одно другого убедительнее, приведем еще только одно:

"... Когда мне пришлось... показать значение земли, земледельческого труда и морали, заимствованной непосредственно от природы (благодаря этому труду)*, в области проявлений народного духа -- задача моя вдруг приняла размеры неподобающие, огромные. Брак, семья, народная поэзия, суд, общественные заботы и т.д. и т.д. -- словом все стороны народной жизни оказались проникнутыми этими влияниями и моралью труда земледельческого, во всем оказался его след, везде стала виднеться черта, начало которой -- в поле, в лесу..." (II. 654; см. еще 655, 671.)

/* В скобках слова Успенского; курсив мой. Л. Т.

Мы назвали соблазнившее г. Михайловского выражение Успенского неудачным. Сделаем пояснительное ограничение. Одна из возможных и для нашего случая наиболее пригодных формулировок "исторического материализма" гласит, что основным моментом социальной эволюции является степень власти человека над природой или степень зависимости человека от природы. Эти "степени" определяются, конечно, уровнем развития производительных сил. Поскольку приводимое г. Михайловским утверждение Успенского, что "корнем" надлежит признать "природу", подчеркивает зависимость мужика от стихийных сил природы, от "власти земли", вследствие низкого уровня производительных сил, постольку неудачная формула Успенского приемлема. Но не более того*.

/* Не можем сделать ничего лучшего, как отослать читателя к самому Успенскому, преимущественно к следующим очеркам, представляющим наиболее зрелые плоды его творчества: "Крестьянин и крестьянский труд", "Власть земли", "Из разговоров их с приятелями". (II. 519 -- 718.)

Итак, "корнем" крестьянского существования надлежит признать природу, т.-е. земледельческое производство на первобытной технической основе. Из этого "корня" вытекают и гармония, и легкость, и справедливость крестьянской жизни, словом, все те качества, которые делали ее в глазах Успенского самым совершенным типом человеческого существования. Как же относился, в таком случае, Успенский к освобождению крестьянина от власти земли? Как он относился к технике?

III

Отношение публициста, болеющего болями своего времени, ищущего разрешения проклятых вопросов "жизни и духа", к технике, к primus movens (первому двигателю) социального развития, является -- с точки зрения нашего миропонимания -- вопросом основным.

По отношению к тому направлению, которое известно под именем народничества, вопрос этот необходимо должен предъявляться в двух формах: 1) в абстрактно-логической: каково отношение писателя к технике вообще, к технике, как к орудию власти общественного человека над природой, и 2) в конкретно-исторической: каково отношение писателя к технике в той социальной форме, в которой техника в последнюю историческую эпоху развивалась. Конечно, в настоящее время слишком ясно, что практическое значение имеет лишь второй вопрос. Но в свое время и первый вопрос имел громадное значение.

В народничестве были две стороны: 1) оно было протестом против надвигавшегося капитализма, 2) протест этот опирался на натурально-хозяйственное крестьянство. Хотя это лишь две стороны одной и той же монеты, но разные народнические течения поворачивали монету разными сторонами: то "орлом", то "решеткой". Одно течение видело главную задачу в изыскании средств перехода к высшим формам общественности, минуя капиталистическую стадию развития, при чем община и артель, как и все элементы народно-хозяйственного уклада, ввиду заключающейся в них силы сопротивления капитализму, должны были служить средством, полем опоры для интеллигентских усилий; другое же -- подчеркивало правду натурально-хозяйственного обихода крестьянской жизни, в самом себе заключающего свою цель и требующего лишь ограждения от внешних вредоносных влияний. В то время как последнее течение изнывало в прожектерстве и пером Юзова* создало курьезную реакционно-народническую философию, -- первое специализировалось на критике буржуазной культуры с голоса западно-европейской литературы и не хотело капитализма нигде -- ни в городе, ни в деревне. Юзов и Михайловский являются, пожалуй, крайними литературными выразителями этих двух течений. Разумеется, тут была масса переходных ступеней. Да и в самом Михайловском сидел Юзов, только окончательно расплывшийся в абстрактных формулах и нередко сам пугавшийся собственной конкретной физиономии.

/* И. И. Каблиц (Юзов) -- публицист-народник 70-х годов прошлого века. В "Основах народничества" восставал против притязаний интеллигенции навязывать народу новые формы быта. Такие писатели, как Михайловский, были в его глазах "либеральные будочники".

Отношение первого из намеченных народнических течений к технике может быть формулировано приблизительно так: "Мы" принимаем технику, поскольку она означает возрастание человеческого могущества, но мы отказываемся от нее, поскольку она создает ту форму оседлания бесчисленных человеческих хребтов, которая называется вольным наймом. "Мы" отказываемся от капиталистического типа развития производительных сил и требуем этого развития внутри общинно-артельных отношений, словом, мы не восстаем против нарастания общественного "постоянного капитала", но он должен быть не буржуазным, а общинно-артельным, его задача -- не создавать прибыль капиталовладельцу, а экономизировать рабочую силу хозяев-производителей.

В такой абстрактной формулировке отношение народников к технике логически приемлемо: пусть оно практически бесплодно, так как не указывает тех общественных сил (кроме пресловутого "мы"), тех реальных средств (кроме благопожеланий), посредством которых можно было бы вогнать развивающиеся производительные силы в рамки общины и артели, вогнать так, чтобы эти силы не расперли, не разорвали в клочья навязанной им оболочки; пусть оно, это народническое отношение, даже реакционно, -- но все эти черты -- практическая бесплодность и общественно-историческая реакционность -- обнаруживаются лишь тогда, когда мы подвергаем народническую формулу эмпирической проверке путем подстановки в нее реальных

социологических моментов; в своей же абстрактной форме она не заключает в себе логических противоречий, и пока реальная жизнь не развила этих противоречий до грубой наглядности, интеллектуальная совесть народничества могла оставаться спокойной.

У Успенского же самая постановка вопроса бесконечно усложняется. Начать с того, что Успенский совсем не верил в единоспасающее значение общины и артели, что они для него были всегда явлениями вторичного порядка и чисто служебного, второстепенного значения. Община получает свое существование, свой смысл и свое значение опять от власти земли, от земледельческого труда*. Не община или артель придают цельность и красоту крестьянской жизни, не они вносят гармонию и правду в отношения между мужем и женой, родителями и детьми, не они, словом, сообщают смысл всему существованию, а крестьянский труд, неизбывный, нескончаемый земледельческий труд под мудрой опекой "матери-земли", -- труд, который, с одной стороны, отнимает у крестьянина все время, заполняя собою все поры его существования и его мышления, лишая его всякой свободы и личной инициативы и тем сообщая необыкновенную "легкость" его существованию, а с другой -- позволяет ему ни от кого не зависеть, быть самому себе и слугой и хозяином, сочетать в своем лице все отрасли производства, необходимые для поддержания человеческой жизни. Но если так, если в основе правильной крестьянской жизни лежит не община, а власть земли, тогда задача сводится не к тому, чтобы вдвинуть рост техники в общинно-артельные рамки, а к тому, чтобы примирить его с властью земли. Но такая задача уже логически нелепа: она требует, чтобы растущие производительные силы, задача которых -- подчинить природу человеку, мирно уживались с абсолютной властью земли над человеком.

/* См., напр., т. II, стр. 611.

Если с точки зрения вышеприведенной ординарно-народнической формулы могло быть желательным невозможное практически, но приемлемое логически превращение поземельной общины в земледельческую "фабрику", без капиталиста-хозяина, с равноправными общинниками-производителями, с высоким "органическим составом" общинного капитала, т.-е. с самым широким применением наиболее усовершенствованных машин, создающих громадную экономию рабочей силы, -- то с точки зрения Успенского такое превращение раскрыло бы самые безотрадные перспективы. Пусть эта кооперативная земледельческая фабрика оставляла бы нетронутой общину, -- что из того? Ведь она в корне подрывала бы "власть земли", так как человеку пришлось бы охаживать не землю, а машину, что нивелировало бы столь важную для Успенского разницу между трудом земледельческим и неземледельческим. Далее. Применение усовершенствованных машин, экономизирующих человеческую силу, создавало бы досуг, требующий заполнения, вызывало бы новые потребности, требующие удовлетворения, -- и этих "заполнения" и "удовлетворения" пришлось бы по необходимости искать вне земледельческого труда, вне сферы труда вообще. Это в корне подорвало бы ту цельность и внутреннее единство, которые сообщает крестьянской жизни земледельческий труд, проникая всюду, заполняя все поры и определяя все частности. Наконец, если "настоящий", "непопорченный цивилизацией" мужик -- "все сам", "ни от кого не зависит" и пр. и пр., то мужик-соучастник земледельческой "фабрики" этого про себя сказать не сможет: машины сам не сделаешь, да и с готовой уже машиной не всякий, конечно, мужик справится: машина требует специалиста. Возникнет, следовательно, разделение труда, это "проклятие", тяготеющее на "культурном" обществе.

В то время как в лице г. Михайловского народничество расплывалось в такие бездонные историософические формулы, в которых можно было утопить и общину, и технику, и многое

другое, без надежды что-нибудь извлечь из них для практики текущего дня, в лице Успенского оно останавливалось перед альтернативой: земледельческая "правда" или техника, -- в мучительном раздумье, без разрешения и без надежды на разрешение вопроса. Свидетельствуя, что Успенский далеко оставлял позади себя своих единомышленников по части проникновения в глубину указанной трагической альтернативы, эта позиция доставляла, однако, самому Успенскому одни муки и терзания.

Успенский нигде категорически и безусловно не говорит, как он относится к развитию техники, хотя десятки раз подходит к вопросу с разных сторон, -- и вовсе не потому он не решается отказаться от "язвы-цивилизации" в пользу нецивилизованной крестьянской "правды", что дорожит "этикеткой прогрессиста", как думает г. Е. Соловьев*47, а потому, что Успенский сам был прежде всего человеком культуры, народником, а не "народом", и понимал всем своим громадным умом внутреннюю связь этой культуры с теми условиями, которые ему так страстно хотелось разрушить и проклясть. Вот что говорит об этом сам Успенский... "Я валю к его (мужика) ногам всю* цивилизацию всех веков и народов и изображаю ее так, что иначе, как "паршивою", наименовать ее невозможно... В приведенном образчике под цивилизацией поименованы кабаки, извозчики, пьянство, наклонности к разрушению семейных порядков, показано, что от "цивилизации" Алексей бьет жену и т.д. Словом, взято множество свинств, и все они наименованы цивилизацией, которая поэтому сама собой уже оказывается свинством... И, однако, ведь говоря по совести, я знаю же, что и цивилизация выдумала массу добра для человечества; ведь по сущей совести я знаю, что моя-то личная жизнь значительно облегчена, услаждена, благодаря этой настоящей цивилизации"... (II, 587; курсив мой. Л. Т.) Но эта же цивилизация, точно ураганом, сносит устои земледельческой правды. Что делать? Что делать?

/* Курсив Успенского.

IV

Прочитайте следующие строки: "На том самом месте, где Иван Ермолаевич ("подлинный" крестьянин-земледелец. -- Л. Т.) "бьется" над работой из-за того только, чтобы быть сытым, точно так же бились ни много, ни мало, как тысячу лет, его предки и, можете себе представить, решительно ничего не выдумали и не сделали для того, чтобы хоть капельку облегчить ему возможность быть "сытым"... "Хуже той обстановки, в которой находится труд крестьянина, представить себе нет возможности, и надобно думать, что тысячу лет тому назад были те же лапти, та же соха, та же тяга, что и теперь... Прародители оставили Ивану Ермолаевичу непроездное болото, через которое можно перебираться только зимой, и, как мне кажется, Иван Ермолаевич оставит своему мальчишке болото в том же самом виде. И его мальчонко будет вязнуть, "биться с лошадью" так же, как бьется Иван Ермолаевич"*. (II, 530, 531.) Эти строки, далеко не единственные у Успенского, ничего не оставляют желать по определенности мысли и яркости изображения: низкий уровень техники, рутина хозяйственных приемов кошмарным гнетом тяготеют над подлинно-крестьянской жизнью Ивана Ермолаевича. Только всемогущая "формула прогресса" может родить в этих условиях разностороннюю человеческую индивидуальность; подлинная же крестьянская жизнь ничего об ней не знает. "Посмотрите, в самом деле, -- продолжим мы словами Успенского, -- что это за жизнь, и посудите, из-за чего человек бьется... Летом с утра до ночи без передышки бьются с косьбой, с жнивом, а зимой скотина съест сено, а люди хлеб, весну и осень идут хлопоты приготовить пашню для людей и животных, летом соберут, что даст пашня, а зимой съедят. Труд постоянный, и никакого результата, кроме навоза, да и того не остается, ибо и он идет в землю, земля ест навоз, люди и

скот едят, что даст земля". Поистине страшно!.. "Меня и поражает, -- продолжает автор, -- бесплодность труда, бесплодность по отношению к человеку (курсив Успенского), к его слезам, радостям и к зубовному его скрежету. Именно в человеческом-то смысле или, говоря точнее, "в расчете-то на человека", бесплодность неустанного труда оказывается поразительною. Как бы пристально ни вглядывался в него, как бы ни ужасался его размеров, -- я решительно не вижу, чтобы в глубине этого труда и в его конечном результате лежала мысль и забота о человеке, в размерах, достойных этого неустанного труда". (II, 529, 530.) Далее следует мастерская иллюстрация "невнимания к человеку", которую я с горячим сожалением опускаю, отсылая читателя к самому Успенскому.

/* Очень поучительно, что в тех случаях, когда Успенский-материалист склоняется пред Успенским-утопистом, изображенная выше деревенская косность фигурирует под симпатичным именем "устойчивости" земледельческой жизни. (См. т. II, стр. 712 -- 713.)

Где же выход из этого бесстрастного "севооборота" жизни, в котором человек так фатально переплетается с навозом? Выход один: в повышении власти над природой. Необходимо, как говорит сам Успенский, "сократить те невероятные размеры труда, поглощающего всю крестьянскую жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежит на крестьянине таким тяжелым и, как мне казалось (и кажется), бесплодным бременем" (II, 529.) Призывает ли Успенский к сокращению труда и облегчению бремени с надлежащей решительностью? Нет! Отказывается ли он от них категорически? Нет! Тут его бесстрашная мысль защемляется тисками рокового противоречия. Непосредственно почти после мыслей об отсутствии в крестьянской жизни определенной границы между человеком, овсом и навозом, Успенский высказывает такие соображения: "Для меня стало совершенно ясным, что творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многосторонность составляют для громадного большинства нашего крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли даже не всех его отношений, частных и общественных". (II, 544; Курсив мой. Л. Т.) Как неожиданно грубо-суровая, навозная проза жизни окрасилась поэзией и многосторонностью. Но это не все: оказывается, что "огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастьях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и детски-кротка... покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность ослушания ее повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование"... "в этой-то массе тяготы*, под которой человек сам по себе не может и пошевелиться, тут-то и лежит та необыкновенная легкость существования, благодаря которой мужик Селянинович мог сказать: "меня любит мать сыра-земля". (II, 605, 608.)

/* Курсив мой, остальные курсивы Успенского. Л. Т.

Но если так, то основательно ли автору "казалось и кажется (!)", что тяжкий, заполняющий все поры мужицкой жизни и мысли труд лежит на Иване Ермолаевиче "бесплодным бременем"? Не правильнее ли эту "массу тяготы", в которой заключается "необыкновенная (поистине необыкновенная!) легкость существования", признать благодетельной, а не бесплодной? И не братоубийственно ли по отношению к мужику призывать облегчение этого бремени?

В самом деле, каков будет дальнейший результат этого облегчения? Что будет, ежели "ядовитая цивилизация вломится в наши палестины, хотя бы в виде парового плуга?.. Произойдет опустошение во всех сферах сельскохозяйственных порядков и идеалов, а на место разрушенного ничего не поставится нового и созидающего". (II, 557; курсив мой. Л. Т.) "Оторвите крестьянина от земли... -- говорит Успенский в другом месте -- и нет этого народа, нет народного

миросозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, "полная воля", т.-е. неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное "иди, куда хошь"... (II, 605.)

Логически развивая свою мысль, Успенский приходит к такому вполне последовательному выводу: "...Для сохранения русского земледельческого типа, русских земледельческих порядков и стройности, основанной на условиях земледельческого труда, всех народных частных и общественных отношений, необходимо всячески противодействовать разрушающим эту стройность влияниям; для этого необходимо уничтожить все, что носит мало-мальски чуждый земледельческому порядку признак: керосиновые лампы, фабрики, выделывающие ситец, железные дороги... (и пр., и пр.). Все это необходимо смести с лица земли, для того чтобы Иван Ермолаевич, воспитавшийся в условиях земледельческого труда, на них построивший все свои взгляды, все отношения, на них основавший целый, особый от всякой цивилизации, своеобразный "крестьянский" мир, мог свободно и беспрепятственно развивать (сохранять неизменными? Л. Т.) эти своеобразные начала"... (II, 559.)

Нужды нет, что Успенский считает эти требования невыполнимыми и называет их "легкомысленными", -- ведь от этого он не перестает отчетливейшим образом понимать и помнить, что их действительно необходимо выполнить, чтобы спасти Ивана Ермолаевича: иначе -- смерть. Понимает и помнит -- и вместе с тем даже теоретически не решается осудить на гибель "всю цивилизацию всех веков и народов". Он доводит свою (именно свою) мысль с героическим бесстрашием до ее крайних выводов и... застывает в трагическом недоумении. Что делать? Что делать?

V

Но этим противоречия не исчерпываются.

Возьмем того же подлинного мужика -- на этот раз не Ивана Ермолаевича, а толстовского Платона Каратаева* -- и посмотрим, "какие же это типические, наши народные черты?"... "Жизнь Каратаева, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких, но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком"... "... Эта, не имеющая смысла, жизнь, -- комментирует Успенский, -- не любя никого отдельно, ни себя, ни других, годна на все, с чем сталкивает жизнь... Все может сделать Платон: "возьми и свяжи"... "возьми и развяжи", "застрели", "освободи", "бей" -- "бей сильнее" или "спасай", "бросайся в воду, в огонь для спасения погибающего", -- словом, все, что дает жизнь, все принимается, потому что ничто не имеет отдельного смысла, ни я, ни то, что дала жизнь"... (II, 673.)

/* Л. Н. Толстой. "Война и Мир". Ред.

Да, все может сделать Платон: и развязать, и связать, и утопить, и спасти утопающего. В этом и состоит (по Марксу) идиотизм той жизни, которая создала и воссоздает Платона. Пока Платон мог жить и жил жизнью замкнутой в себе общины, до тех пор "идиотизма" не было: внутри общины все было пригнано, "как в галке", одно к одному, все было связно, цельно, уместно. С нашей точки зрения, мы, конечно, не можем видеть в этой зоологической цельности и законченности ничего привлекательного, заманчивого, обещающего успокоение и исцеление истерзанной душе. Но дело не в этом, а в том, что, с тех пор как русская земля стала есть, община входила в состав

общегосударственной жизни, служа ей фундаментом. И в тех именно отношениях, в какие становится крестьянин к миру, начинающемуся за деревенской околицей, проявляется во всем своем грозном смысле особенный характер его жизни. Природа "учит его признавать власть, и притом власть бесконтрольную, своеобразную. Терпи, Иван Ермолаевич. И Иван Ермолаевич умеет терпеть, терпеть не думая, не объясняя, терпеть беспрекословно". (II, 546, 547.) "В результате ржаной науки -- "повинуйся" и "повелевай" до такой степени прочно вбиты природою в сознание Ивана Ермолаевича, что их оттуда не вытащишь никакими домкратами". (II, 549.)

Итак, ясно: наука ржаного поля годна и применима, цельна и даже привлекательна -- в пределах практики ржаного поля, но и только... "Иван Ермолаевич, безропотно покоряясь напору чуждых ему влияний и в то же время упорно стремясь осуществить свои земледельческие идеалы в том самом виде, в каком они были выработаны при отсутствии давления нового времени, чувствует себя весьма нехорошо и вырабатывает -- конечно, будучи в этом вполне невиновен -- взгляды на окружающее вполне непривлекательные". (II, 559; курсив мой. Л. Т.)

С одной стороны, "зоологическая правда" крестьянской жизни является для Успенского единственным прибежищем, единственной надеждой, единственным оазисом среди безбрежности всечеловеческого зла и насилия; миросозерцание "десятков миллионов, ежедневно слушающих мать-природу", есть единоспасающее миросозерцание; промотать этот драгоценный перл значит ввергнуть себя в бездну полного социального и морального банкротства. С другой стороны, оказывается, что единоспасающий тип крестьянского миросозерцания, воспитанного под командой "травки зелененькой", имеет свой необходимый "корректив" в типе "хищника для хищничества".

Где же выход? Остается, очевидно, либо героически отказаться от зоологической правды "ржаного поля" со всеми необходимо дополняющими, но отнюдь не украшающими ее правовыми и иными явлениями, -- и поискать выхода где-нибудь за пределами крестьянского жизненного уклада, либо принять его со всем тем, что -- по словам самого Успенского -- необходимо из этого уклада вытекает. Успенский не остановился ни на одном из них: он призвал на помощь народническую утопию. Необходимо сохранить уклад земледельческой жизни во что бы то ни стало, но вместе с этим необходимо освободить этот уклад из-под гнета "хищников и виртуозов терзания". Кто же совершит это трудное дело? Сам крестьянин, представитель правды земледельческого труда? Куда уж! Но если не крестьянин, то кто же? Не сам ли виртуоз хищничества откажется от своего растленного ремесла и, подобно волку райских селений, мирно возляжет рядом с овцою? Но на такую чудесную метаморфозу надежды, разумеется, еще менее. Остается поискать "способов" вне обеих заинтересованных групп. Но где именно?

VI

Интеллигент -- не в нем ли спасение? Интеллигент взвалит на спину свою тяжелую ношу истории и, обливаясь потом и кровью, взнесет эту ношу в нагорное царство идеала.

Человеку "бессознательной правды земледельческого труда" со всею силою своего убеждения он скажет: ты владеешь величайшим сокровищем, ты представляешь собою "образцовейший тип существования человеческого", но ты не сознаешь этого и рискуешь легкомысленно промотать свое бесценное достояние. Сознай это! Пойми, что в случае такого мотовства тебе грозит утрата гармонии и чистоты духа, зависимости от того громадного, сложного и беспощадного чудовища, которому имя общество, наконец, утрата самого важного, самого ценного -- смысла жизни, который в труде и ни в чем ином помимо труда. И еще многое, столь же прекрасное и высокое,

столь же утопическое и противоречивое скажет он человеку земледельческого труда, коллективному Ивану Ермолаевичу. Что услышит он в ответ?

-- Не суйся!

Только. "Но это "только" имеет за себя вековечность и прочность самой природы. Но этим кротким ответом интеллигенту Иван Ермолаевич может ограничиться единственно только по своей доброте; ежели же он человек не с слишком мягким сердцем, то ответ его должен непременно выразиться в предоставлении этого самого интеллигента к "начальству", не как злодея, а просто, как сумасшедшего пустомысла, который болтает зря ни весть что и своими пустомысленными разговорами может вредить в таких делах, в которых не смыслит ни уха, ни рыла, полагая, что в делах этих можно что-нибудь изменить, тогда как Ивану Ермолаевичу доподлинно известно противное, что ничего тут изменить невозможно и что вообще "без этого нельзя". (II, 550.)

Г-н Михайловский думает, что не только во внутреннем характере условий крестьянской жизни лежит причина грозного "не суйся", которым Иван Ермолаевич ошарашивает интеллигентскую душу, но и в том роковом противоречии, которое раскалывает самого интеллигента надвое. Вот, впрочем, подлинные слова г. Михайловского: "по-видимому, "не соваться" цивилизованному человеку следует не только потому, что крестьянскую массу одолевает "деревенский идиотизм", а и потому, что сам он, цивилизованный человек, "расколот надвое гуманством мыслей и дармоедством поступков"; значит, будь его внутренний склад иной, он, может быть, и имел бы право и возможность "соваться"... ("Русское Богатство", 1900, XII, "Мой промах", стр. 164.)

Мы только что слышали, что "Ивану Ермолаевичу доподлинно известно, что ничего тут изменить невозможно" -- совершенно независимо от интеллигентской расколотости. Послушаем Успенского далее. "Войдя в этот мир и вполне проникнувшись сознанием законности и непреложности всего существующего в нем, посторонний деревне, хотя бы и озабоченный ею человек, должен невольно оставить свою фанаберию, и если он не сумеет думать так, как думает Иван Ермолаевич, и притом не убедится так же, как убежден Иван Ермолаевич, что иначе думать при таких-то и таких-то условиях невозможно, то решительно должен оставить втуне все свои теории, выработанные на почве совершенно иной". (II, 554; курсив мой. Л. Т.)

Ясно, значит, что "расколотость" интеллигентного человека не при чем. Корень в том, что "иначе думать при таких-то и таких-то условиях невозможно", в силу чего приходится "оставить втуне все свои теории, выработанные на почве совершенно иной". (У Успенского период построен неправильно, но мысль ясна.) Более того, "расколотость" и давала интеллигенту еще некоторую надежду приблизиться к Ивану Ермолаевичу: не чувствуя под своим гуманством прочной почвы поступков, интеллигент обращался за "почвой" в сторону Ивана Ермолаевича. Будь интеллигент "целостен" на своем месте, -- между ним и мужиком не только не было бы точек соприкосновения, но и стремления найти их.

Если Успенский отчетливо показал, что интеллигент встречает на своем пути негостеприимное "не суйся" вовсе не в силу его интеллигентской расколотости, а по той причине, что его идеи (сожительствуют ли они с поступками, или остаются вечными девами, это, -- с точки зрения вышеприведенных объяснений Успенского, -- совершенно безразлично) "выработаны на почве совершенно иной"; если, говорим, Успенский обнажил это всем своим изумительным анализом "севооборота" мужицкой жизни, то это не мешало ему, в целях искреннего интеллигентского самообличения, морального самоистязания, -- с явной, разумеется, непоследовательностью --

взвалить весь "грех" на свою интеллигентскую душу. Mea culpa! Mea maxima culpa! (Моя вина! Моя великая вина): Я расколот, я негоден!..

Спасается ли этим что-нибудь? Открывается ли впереди просвет? Исследуем вопрос. "... Будь его внутренний склад иной, он, может быть (может быть? -- экивоки, экивоки, г. Михайловский! Л. Т.), и имел бы право и возможность "соваться", осторожно намекает нам г. Михайловский и затем обходится посредством "фигуры умолчания" с такой же легкостью, как N-ские дамы обходились посредством платка. Сталкиваясь лицом к лицу с кардинальной практической проблемой, г. Михайловский по своему обыкновению оставляет решение в тумане догадок. По "внешним" причинам? Не только: в г. Михайловском теоретический "социолог" всегда несколько пугался собственной практической физиономии. И в этом случае, как в прочих, г. Михайловский открывает лишь самое "интересное" и, бессознательно подражая грации все тех же N-ских дам, хочет заставить нас думать, что наиболее пикантное скрывается за изящной драпировкой пустопорожних абстракций и бессодержательных условностей. Но из-за этих, недостойных публициста, преследующего определенную общественную, а не фразеологическую цель, пустых условностей ("будь его внутренний склад иной... может быть"...) на нас продолжает глядеть ни на миллиметр не продвинувшаяся вперед практическая проблема.

Пусть г. Михайловский прав. Но где же решение вопроса? Где те реальные, существующие на земле, а не в условных фразах, силы, влияния или условия, которые сделают душу Ивана Ермолаевича восприимчивою к "гуманству мыслей" фактически связанному (худо ли это или хорошо) с "дармоедством поступков"? Или: где те реальные силы или влияния, которые способны заполнить зияющую бездну между "размышлениями и беспокойствами" интеллигентного человека и соответственными поступками?

Задача получается поистине неразрешимая. Чтобы обрести целостность, чтобы заполнить бездну несоответствия между идеалом и общественной наличностью, оказывается необходимым оплодотворение "гуманства мыслей" трудовой практикой мужицких будней. А между тем эта устойчивая и суровая практика настоятельно рекомендует "не соваться". По рекомендации г. Михайловского остается начать с противоположного конца: предварительно привести в опрятный вид собственную свою интеллигентскую физиономию, произвести "своим средствием" поступки, соответствующие мыслям, а затем, в лучезарном сиянии своей "цельности", направиться напрямик к Ивану Ермолаевичу, который, будем надеяться, встретит тогда интеллигента хлебом-солью...

VII

Чтобы разобраться в этой путанице намеков, неясностей и условностей, необходимо прежде всего поставить вопрос: о какой "расколотости" идет собственно речь у Успенского и, затем, у г. Михайловского? По отношению к занимающему нас вопросу надлежит различать два вида расколотости интеллигентского духовного естества. Только это различение может нас вывести из дремучих дебрей абстрактно-публицистической фразеологии.

Расколотость No 1. В превосходном маленьком очерке "Прогулка" (I, 791) гуманнейший акцизный чиновник, с живым и просвещенным вниманием следящий за "самыми последними номерами журналов", с нетерпением ожидающий, когда, наконец, во Франции вспыхнет революция ("Давно пора!"), поражающий молодого ритора, исключенного из семинарии, своим передовым "умонаклонением", подводит спокойнейшим и коварнейшим образом под горькую беду семейство мещанина Гаврилы Кашина, торгующего вином без патента... В интимной беседе,

в тужурке и туфлях, образованный человек занимается самообличением и самоуничижением, готов "проклясть себя, осрамить себя", а мужика возвести в перл создания. Но стоит образованному человеку облачиться в мундир, в фуражку с околышем и кокардой, как он уже почти стихийною силою своего общественного положения начинает совершать такие поступки, от которых дым идет коромыслом. Такая "расколотость", в сущности очень поверхностная, действительно довольно широко распространена. Но об ней и разговаривать не стоит.

Расколотость No 2. Какой-либо прогрессивный деятель, даже всецело отдавая душевные силы практике общественной борьбы, в своей личной жизни необходимо подчиняется обиходным условиям: покупает и продает, нанимает и нанимается, служит в банке и т.п. Его оправдание -- если он в этом нуждается -- в том, что нельзя себя, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить за волосы из окружающей социальной обстановки. Эта двойная бухгалтерия тоже свидетельствует, если угодно, о "расколотости"; но это уж, очевидно, расколотость иного рода.

Слишком ясно, что та группа, от имени которой говорит Успенский, может быть отнесена лишь к нашей второй категории. Между тем Успенский в исступленном самообличительстве берет себя за общую скобку. "Что бы мне стоило, -- восклицает Успенский, -- если уж я так раскаялся чистосердечно, проклясть себя в самом деле, сказав, например: "я -- бессовестный человек, потому что знаю очень много секретов, которые бы улучшили жизнь Ивана Ермолаевича, но, мол, бессовестность запрещает мне их открыть ему; он тогда плюнет на меня и уйдет, а мне надо, чтоб он секретов-то не знал и работал на меня. Этого-то вот, настоящего-то, я ни за что не скажу"... (II, 586.) Неужели же тот интеллигент, которого коллективный Иван Ермолаевич ошарашил своим "не суйся" с присовокуплением некоторых недвусмысленных поступков, имеющих отношение к лопаткам, неужели этот интеллигент хотел утаить от Ивана Ермолаевича "настоящие" секреты? Быть не может! -- Или, с другой стороны: неужели слегка и не без грации расколотые своекорыстные интеллигенты действительно совались к Ивану Ермолаевичу и потерпели неудачу только в силу своей расколотости? Невероятно!

И к какой из этих двух категорий "цивилизованных" людей относится условный период г. Михайловского: "будь его внутренний склад иной, он, может быть, и имел бы право и возможность соваться"? Неужели к расколотым первого рода? Или эта темная фраза относится к той группе интеллигенции, которая уж, конечно, не думала скрывать какие бы то ни было "секреты", а, наоборот, стремилась раскрыть все ей известные? Но тогда вы сугубо неправы! Ведь весь трагизм в том и состоял, что она, эта группа, пыталась воплотить свое гуманство мыслей в соответственные общественные поступки, а Иван Ермолаевич встретил ее своим окриком. Какой же "иной внутренний склад" ей прописал бы для успеха г. Михайловский, раз причина неуспеха -- хоть отчасти -- лежала в ней, в этой горсти? О, г. Михайловский, г. Михайловский! Вы безнадежно запутались в сетях партизанских схваток, ибо давно утратили руководящую общественно-практическую идею, этот незаменимый компас публициста.

Успенский в характерном интеллигентском самообличительном увлечении взял всю вину на себя, -- не как на лицо, а как на группу, -- втоптал себя в грязь. Тут, на этом пункте, перед Успенским открывается покатая плоскость в сторону самого несостоятельного социального морализирования... Успенский "договаривается" до таких слов: "...я, русский образованный человек, я виновен самым решительным образом; я виновен тем, что до сих пор, 25 лет, не нашел в себе решимости по совести признать, что Иван Ермолаевич уже не крепостной, не раб, и что я, бывший барин, теперь завишу от него, хотя бы только потому, что его -- миллионы, что теперь даже из желания нажиться я должен действовать так, чтобы удовлетворять насущным

потребностям Ивана Ермолаевича. Я должен строить дорогу преимущественно в видах Ивана Ермолаевича, если хочу не быть его разорителем, я должен устраивать промышленное предприятие не иначе, как в видах, главным образом, миллионной массы, если, во-первых, не хочу разориться, а во-вторых, если стыжусь разорить. Но именно этого-то последнего я и не стыдился, и даже не стыжусь, пожалуй (?), и теперь. Напротив, я умышленно старался (?!) его затмить, расстроить, не давал ему ни науки, ни земли, ни малейшего облегчения в труде. Я так знакомил его с цивилизацией, что он только кряхтел от нее. За всю эту искренность Иван Ермолаевич и наказывает меня тем, что начатое мною расстройство его быта практикует и в деревне, собственными руками разрушает то, на чем, если бы только я мог решительно стать на сторону устроения, а не разрушения, действительно можно бы создать крупное общинное хозяйство, в котором бы не было людей, не имеющих права на хлеб, и в котором нашел бы место работника (за деньги, не беспокойтесь!) и образованный человек". (II, 591 -- 592; курсивы Успенского.) Горько и обидно, читатель, выписывать эту длинную цитату!..

И вот к этому-то месту, производящему среди перлов и адамантов творчества Успенского прямо-таки тягостное впечатление, отсылает нас г. Михайловский такими словами: "там он (читатель) найдет соображения, по которым "соваться" можно и должно, но не людям, "расколотым надвое между гуманством мыслей и дармоедством поступков". Указана и цель этого возможного и обязательного "сования" ("Русское Богатство", 1900, XII, стр. 172). Вы прочитали только что эти рекомендованные вам "соображения", -- и что же? Вы можете лишь скорбеть, что смелый размах мысли, за которым вы с таким напряжением следите на всем протяжении очерков "Крестьянин и крестьянский труд", заканчивается этим бледным, утопическим, в худшем смысле слова, публицистическим построением.

Каков идеал, намеченный тут Успенским? "Крупное общинное хозяйство", нерасколотые... железнодорожные строители и фабриканты, строящие -- из разумно-понятого "желания нажиться" -- дороги и промышленные предприятия "преимущественно в видах Ивана Ермолаевича", наконец, нерасколотый "образованный человек" -- конечно на приличном жаловании при... крупном общинном хозяйстве... Что за несообразная, сумбурная утопия! И всех этих благ "я" не достиг потому, что "я" был "труслив, своекорыстен и нерешителен"... И кто этот "я"? Фабрикант и строитель, не рассчитавший, как следует, шансов наживы; образованный человек, озабоченный вопросом, как бы не лишиться жалованья при "крупном общинном хозяйстве" ("не беспокойтесь!" -- утешает его Успенский), или интеллигент, ничего не услышавший в ответ, кроме "не суйся!"?.. И можно ли найти в приведенной цитате хоть намек на примирение того противоречия между идеалами этого интеллигента и строем крестьянской жизни и крестьянских понятий, которое сам Успенский вскрыл с бесстрашием, поистине самоубийственным?..

Только в момент общественного надрыва, нервного надсада может явиться желание променять первородство собственных идейных запросов, хотя бы и не разрешающихся соответственными поступками, на примитивную "гармонию" существования Ивана Ермолаевича. Конечно, разлад между словом и делом, между теорией и практикой, между "гуманством мыслей" и "дармоедством поступков" заключает в себе мало отрадного и уж, разумеется, не представляет собой идеала, -- но он заключает в себе сознаваемое противоречие, а, значит, и движение, и жизнь, и стремление к примирению противоречия, к гармонии, к цельности. Жизнь же Ивана Ермолаевича характеризуется чисто стихийной законченностью; ее внутренняя гармония покоится на незыблемости объективных условий и на неизменности потребностей тела и запросов духа.

Это гармония неподвижности, цельность застоя, законченность бессознательной удовлетворенности... Нет, это не идеал!

Могут сказать, что не самая жизнь Ивана Ермолаевича со всем своим эмпирическим содержанием, замкнутостью в обиходе своего двора, угрюмой неподвижностью форм существования и мышления представлялась Успенскому идеалом, но лишь характеризующая эту жизнь и отвлеченная от ее материального содержания черта цельности, единства между мыслью и поступком... Но такое соображение будет совершенно неосновательным. Чисто формальная идея "цельности" существования, гармонического соотношения между субъективным и объективным, между индивидуальным и социальным, может быть указана во всяком социальном идеале, какая бы общественная группа ни выступала его носительницей. Так, в эпоху первой французской революции, буржуазный строй рисовался как гармоническое примирение индивида с обществом, объективного права с моральным сознанием. Народнический идеал общежития также необходимо включал в себя момент цельности, гармонии, но не эта формальная идея характерна для народнического идеала, ибо она объединяет его со всеми другими идеалами всех веков и всех общественных групп. Для народнического идеала характерно то, что материальным воплощением указанной формальной идеи выставлялся натурально-хозяйственный крестьянский быт, всецело определяющийся, как показал Успенский, "властью земли", т.-е. земледельческим производством на низком уровне производительных сил.

Мы начали с того, что нам "могут сказать", будто Успенского увлекал в крестьянской жизни не весь ее материальный склад, а формальный момент "цельности". Поправимся: Это уже сказано. Г-н Михайловский рекомендует читателям и критикам Успенского помнить "одну из его основных черт: условное почтение ко всякой гармонии и безусловное отвращение ко всякой расколотости" ("Русское Богатство", 1900, XII, 172; курсив г. Михайловского). С этой "условной" точки зрения Успенский находил нечто хорошее в старинном становом, в подлинном невежестве... С этой же точки зрения оценивал он и "земледельческие идеалы", в силу которых, например, Паланька и Михайло "покорно отказываются друг от друга и от счастья взаимной любви" (там же, 170). Г-н Михайловский верен себе. Он просеивает социальные реальности через редкое сито формально-психологических абстракций ("честь, совесть, цельность, гармония"). Неужели Успенский сказал бы старинному становому многозначительные слова: вы представляете собою "образцовый тип существования человеческого", "образчик самого совершенного человеческого типа"? (II, 709, 712.) А мужику он это сказал (устами Протасова). Совершенно напрасно г. Михайловский обезличивает отношение Успенского к "народу". Г-н Михайловский может, раз это ему любезно, разбавлять постепенно и незаметно для своих почтительных адъютантов (гг. Чернова*48, Подарского*49 и пр.) крепкое вино "субъективного метода" водою осторожных оговорок, но незачем совершать ту же неблагодарную работу над Успенским. Он слишком определен и ярок. Он слишком конкретен. Наконец, он поучителен, как всякий глубоко-искренний писатель, и в своих заблуждениях.

* * *

Круг замкнут.

"Легкость", гармония и правда крестьянской жизни, словом, то "тепло", которым она веет на измученную противоречиями душу интеллигента, сохраняются только под тяжелой, но любовной

опекой земли. "Цивилизация" (она же "язва") неудержимо напирает со всех сторон и подрывает устои крестьянской жизни. Что делать?

Крестьянский тип, взлелеянный благожелательно-суровой рукой природы, прекрасен, гармоничен, образцов. Но он же служит неизменным базисом хищнику. Что делать?

Остается надежда на "интеллигента", который придет, научит, спасет.

И он пришел -- чтобы научить и спасти. Но ржаное поле сказало ему тысячами голосов: "не суйся!" и... пощупало у него лопатки. Интеллигент самоотверженно обвинил в неудаче себя. Меа culpa! Я негоден!

Для нас факт остается фактом. Ржаное поле, как оно есть, не приняло интеллигента, как он есть. Социальные условия деревни стали в противоречие с задачами интеллигенции.

Это противоречие нашло в душе Успенского убийственно-яркое отражение. Объективное противоречие превратилось в душевное междоусобие. Личность писателя как бы теряет при этом свои индивидуальные черты и символизирует трагедию эпохи.

В конечном итоге объективного противоречия рушилось целое направление, которому никто не откажет ни в широте задач, ни в талантливых представителях.

"Научное Обозрение"

Апрель 1902 г.

Комментарии

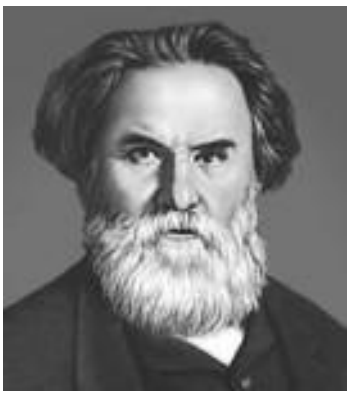
*47 Соловьев Г., -- писатель-публицист, сотрудник "Русского Богатства".

*48 Чернов, Виктор Михайлович -- организатор и руководитель партии эсеров, был в конце 90-х и начале 900-х годов одним из представителей народнического направления и поместил в "Русском Богатстве" ряд статей по вопросам, вызывавшим тогда коренные разногласия между народниками и легальными марксистами. ("К вопросу о положительных и отрицательных сторонах капитализма", "К вопросу о капиталистической и аграрной эволюции", "Субъективный метод в социологии и его философские предпосылки" и др.) После Февральской революции 1917 г. был министром земледелия в коалиционном правительстве Керенского. В ноябре 1917 г. был избран председателем Учредительного Собрания. После разгона последнего уехал за границу, где возглавляет сейчас центр эсеровской партии.

*49 Подарский -- сотрудник "Русского Богатства", руководивший в этом журнале в 1900 -- 1905 г.г. отделами "Наша текущая жизнь" и "Наши газеты и журналы".

Владимир Короленко

Справочный материал



Родился 27 июля 1853 г. в Житомире в семье чиновника судебного ведомства. Детство и юность Короленко прошли в Житомире и Ровно. Окончив с серебряной медалью реальную гимназию, он в 1871 г. приехал в Петербург и поступил в Технологический институт. Однако вскоре из-за недостатка средств вынужден был оставить учёбу и ради заработка стал раскрашивать ботанические атласы, выполнял чертёжные работы, занимался корректурой.

В январе 1873 г. переехал в Москву и поступил в Петровскую академию на лесное отделение. В марте 1876 г. за участие в студенческих волнениях был исключён, арестован и выслан из Москвы. С тех пор вплоть до Февральской революции 1917 г. жизнь писателя состояла из череды арестов и ссылок.

Впервые Короленко выступил в печати в 1878 г. с газетной статьёй об уличном происшествии. В 1879 г. он пишет свой первый рассказ «Эпизоды из жизни „искателя”». Литературное наследие Короленко велико и многообразно. Писатель яркого и большого демократического дарования, он вошёл в историю русской литературы как автор многочисленных повестей, рассказов, художественных очерков, а также как критик и публицист. Пожалуй, самые известные произведения Короленко — повести «В дурном обществе» (1885 г.), «Слепой музыкант» (1886 г.), «Река играет» (1892 г.).

Творчество Короленко отличают страстная защита обездоленных, мотив стремления к лучшей жизни для всех, воспевание душевной стойкости, мужества и упорства, высокий гуманизм.

В 1900 г. Владимир Галактионович стал почётным академиком по разряду изящной словесности. Но в 1902 г. он вместе с А. П. Чеховым отказался от этого звания в знак протеста против отмены академией выборов М. Горького.

Писатель был горячим сторонником общественного предназначения литературы. После Октябрьской революции выступал против произвола и репрессий, творимых большевиками.

Владимир Галактионович Короленко умер от воспаления легких в Полтаве 25 декабря 1921 года во время работы над четвертым томом большого автобиографического произведения «История моего современника».

Рассказ написан в 1890 году. На черновой рукописи имеются пометки Короленко о начале работы -- "17 декабря 1890 г. с вечера" и об окончании ее -- "31 декабря -- 1 января. Канун нового года". Первоначальное заглавие рассказа "Жид, чорт и мельник" с подзаголовком "Может быль, а может и небывальщина" зачеркнуто и надписано: "Иом-Кипур или Судный день". Впервые напечатан рассказ в 1891 году в "Русских ведомостях" NN 43, 47, 48, 58, 61, 69, 77. По своему содержанию печатный текст значительно отличается от черновика: введены новые сцены, многие диалоги написаны по-иному, украинские слова и обороты заменены русскими Короленко писал впоследствии А. Я. Конисскому, просившему у него разрешения перевести "Судный день" на украинский язык: "Я сам не владею настолько малорусским языком, чтобы с полной уверенностью взяться за такую работу, но, странное дело,-- когда я писал "Лес шумит" и "Иом-Кипур", то по большей части сам как бы переводил, и черновые оказались до такой

степени испещренными малорусскими оборотами и словами, что мне приходилось сильно выправлять их при переписке".

Одно время Короленко хотел сам перевести "Судный день" на украинский язык. Так в письме к И. В. Лучицкому 25 января 1893 года Короленко писал: "Насчет "Иом-Кипура" у меня уже раз спрашивали из Киева, и я не могу и теперь ответить ничего другого:

У меня насчет этого рассказа есть свой план. Хочу попытаться изложить его по-малорусски сам, потом попрошу добрых земляков исправить и издам с картинками, которые у меня вот так и стоят перед глазами... Поэтому пока что должен отклонить предложение о переводе. Разве уж у меня ничего не выйдет". Однако это намерение Короленко осталось неосуществленным. Никаких следов этой работы в архиве писателя не обнаружено.

К писателю неоднократно обращались с просьбой разрешить переделать "Судный день" для сцены. Короленко отвечал на эти предложения решительным отказом. В письме к С. Ф. Соколову от 19 января 1909 года Короленко писал; "...мне самому приходил в голову план такой переделки "Иом-Кипура" для сцены; говорил мне также Карпенко-Карый, что он серьезно думал об этом (а он был человек опытный в сценическом деле), но что тут встречаются огромные затруднения. Главное из них -- чрезвычайная трудность избежать балаганщины. Этого можно было бы избегнуть лишь при серьезной художественной переработке самой фабулы, а это возможно только автору".

В основу рассказа положена легенда, слышанная писателем еще в детстве. В очерке "Ночью" Короленко передает эту легенду -- о полупомешанном еврее Юдке, которого унес Хапун.

Судный день ("Иом-кипур")[53]

Малорусская сказка

[Через десять дней после еврейского нового года, который празднуется раннею осенью, наступает у евреев праздник Иом-Кипур (очищения). Местное христианское население называет этот день "судным днем" Существует поверье, что в этот день еврейский чорт, Хапун, уносит из синагоги одного еврея. К этому поверью подали повод, вероятно, чрезвычайно трогательные и исполненные особенной выразительности обряды, сопровождающие празднование Иом-Кипура и совершающиеся в маленьких городишках Западного края на виду у христианского населения]

"Огонь погас, а месяц всходит. В лесу пасется волколак."

Шевченко

I

[53] В.Г.Короленко. Собрание сочинений. Том 2. Повести и рассказы Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1954 Взято с сайта: http://textsharik.narod.ru/
Подготовка текста и примечания: С.Л.КОРОЛЕНКО и Н.В.КОРОЛЕНКО-ЛЯХОВИЧ

Вот что: выйди ты, человече, в ясную ночь из своей хаты, а еще лучше за село, на пригорочек, и посмотри на небо и на землю. Посмотри, как по небу ходит ясный месяц, как мигают и искрятся звезды, как встают от земли легкие тучи и бредут куда-то одна за другой, будто запоздалые странники ночною дорогой... А лес стоит заколдованный и слушает, какие чары встают в нем с полуночи, а сонная речка бежит, и журчит, и бормочет что-то надбережным яворам... И скажи ты мне после этого, чего только, каких чудес не может случиться вон в этой божьей хатке, что люди называют белым светом?

Все может случиться. Вот с знакомым моим, ново-каменским мельником, тоже раз приключилась история... Если вам еще никто не рассказывал, так я, пожалуй, расскажу, только уж вы не требуйте, чтобы я побожился, что это все правда. Ни за что не побожусь, потому что хоть слыхал я ее от самого мельника, а все-таки и до сих пор не знаю: было это на самом деле или не было...

Ну, да уж было или не было, а рассказывать надо, как было.

Раз вечером, после вечерней службы в Новой-Каменке,-- а мельница от села верстах этак в полуторах, не более,-- мельник вернулся к себе что-то не очень в духе. А отчего бы ему быть не в духе, этого он и сам толком не сказал бы. В церкви все шло как следует, и наш мельник, горлан не из последних, читал на клиросе так громко да так быстро, что и привычные люди удивлялись. "Вот как чешет, вражий сын,-- говорили добрые люди с великим решпектом [Почтением, уважением (от франц.-- respect)],-- хоть бы тебе одно слово понять можно было. Чистое колесо: вертится-катится, и знаешь, что есть в нем спицы, а поди-ка, угляди хоть одну. Так сот и он читает: речь как кованое колесо по камню гремит, а слова никак не ухватишь".

А мельник слушал, что люди промеж себя говорят, и радовался. Умел-таки потрудиться для господа бога; языком как иной здоровенный парубок цепом на току молотил, так что даже в горле к концу пересохло и очи на лоб полезли.

После службы батюшка к себе мельника позвал, чаем напоил, да и графинчик с травником на стол поставили полный, а со стола убрали пустой. После этого месяц стоял уже высоко над полями и заглядывал в маленькую, но быструю речку Каменку, когда мельник вышел из поповского дома и пошел по селу, к себе на мельницу.

Из сельских людей кто уже спал, кто сидел при свете каганцов в хатах за вечерей, а были и такие, которых теплая да ясная осенняя ночь выманила на улицу. И сидели себе старые люди на призьбах (завалинках), а молодые под тынами, в густой тени от хат да от вишневых садов, так что и разглядеть было невозможно, и только тихий говор людской слышался там и сям, а то и сдержанный смех или иной раз -- неосторожный поцелуй какой-нибудь молодой пары... Эй, мало ли что делается порой в густой тени под вишнями вот в такую ясную да теплую ночь!

Но хоть мельнику не было видно людей, а люди хорошо видели мельника, потому что он шел самою серединой улицы по месяцу. И потому кое-где ему говорили:

-- Добрый вечер, господин мельник. А не от батюшки ли вы это идете? Не у него ли загостились так долго?

Все знали, что больше не от кого ему и идти, но мельнику это было приятно, и он отвечал не без гордости и не задерживая шагу:

-- Ага, загостился-таки немного! -- и шел себе дальше прегордою поступью.

А иные сидели тихонько под навесами и только ждали, чтобы он прошел поскорее и не заметил бы, что они тут. Но не такой был человек мельник, чтобы пройти мимо или позабыть тех людей, которые ему должны за муку или за помол или просто взяли у него денег за проценты. Ничего, что их плохо было видно в тени и что они молчали, будто воды набрали в рот,-- мельник все-таки останавливался и говорил сам:

-- А, здоровеньки были! Тут вы? Молчите или не молчите, это как себе хотите, а мне должок припасайте, потому что срок завтра, утром раненько. А я ждать не стану, вот что!

И после этого опять шел дальше по улице, и его тень бежала с ним рядом, да такая черная-пречерная, что мельник, человек книжный и всегда готовый при случае пошевелить мозгами, думал про себя:

"Вот какая черная тень, даже удивительно!.. На человеке надета свитка белее муки, а тень от нее чернее сажи..."

Тут поровнялся он с шинком жида Янкеля, что стоял на горке, недалеко уже от выезда. Шабаш уже кончился с закатом солнца, но все-таки в шинке хозяина не было, а сидел жидовский наймит Харько, который всегда заменял Янкеля и его бахорей по шабашам и в праздники. Он зажигал им свечи и принимал своими руками деньги от людей, потому что жиды -- это уж всему свету известно -- строго наблюдают свою веру: ни за что в праздник ни свечей не зажгут, ни денег в руки не возьмут: грех! Все это за них и делал наймит Харько, из отставных солдат, а Янкель, или Янкелиха, а то и бахори только следили зоркими очами, чтобы как-нибудь пятак или там двадцатка вместо выручки не попала каким-нибудь способом в карман к Харьку. "Хитрый народ, ой и хитрый же! -- подумал про себя мельник.-- Умеют и богу своему угодить и грошей не упустят. Да и разумный народ, это тоже надо сказать,-- где нашим!"

Он остановился у входа в шинок, на площадке, крепко утоптанной множеством людских ног, что толклись тут и в базар, и в простые дни, всю неделю,-- и спросил:

-- Янкель! Эй, Янкель! Дома ты, или, может, тебя нету?

-- Нету, не видите, что ли? -- отвечал наймит из-за прилавка.

-- А где?

-- Где -- в городе, вот где,-- отвечал наймит.-- Вы разве не знаете, какой у них день?

-- Какой?

-- Иом-Кипур!

"Вот объяснил, так объяснил!" -- подумал про себя мельник. А надо вам сказать, наймит этот человек был письменный и гордый. Любил задирать нос кверху, а особливо перед мельником. На клиросе читал, пожалуй, не хуже мельника, только что голос имел с трещиной и забирал в нос. Поэтому в "Часослове" еще мог с Филиппом Гладким тягаться, а уж в "Апостоле" никаким способом. Зато в чем другом ни за что, бывало, не уступит. Мельник скажет одно слово, а он ему

навстречу другое. Мельник скажет иной раз: "не знаю", а наймит тотчас: "а я так знаю". Неприятный человек... Вот и теперь загнул такое слово, что мельник даже под шапкою ногтями заскреб, а он радуется.

-- Да вы, может, и теперь не догадались, какой это день?

-- А что мне и знать всякий жидовский праздник! -- ответил мельник с досадой.-- Разве я у них служу или что?

-- Всякий? То-то вот и есть, что не всякий! Сегодня у них такой праздник, что только раз в год и случается. Да еще я вам скажу: такого другого праздника на всем свете ни у одного народа не бывает.

-- Ну, вы скажете!

-- Про Хапуна, я думаю, и вы слыхали.

-- А?

Мельник только свистнул,-- как же это он в самом деле не догадался? -- и заглянул в окно жидовской хаты. Там, на полу, были разостланы сено и трава, в двойных и тройных светильниках горели тонкие сальные свечки-мока'нки и слышалось жужжание как будто от нескольких здоровенных, в рост человека, пчел. То молодая, недавно взятая еще Янкелем, вторая жена и несколько жиденят, закрыв глаза и чмокая губами, жужжали какие-то молитвы, в которых слова схватить было невозможно. Однакоже было что-то такое в этом молении удивительное: казалось, кто-то другой сидит внутри жидов, сидит и плачет, и причитает, вспоминает и просит. А кого и о чем? -- кто их знает! Только как будто бы уже не о шинке и не о деньгах...

У мельника стало от той жидовской молитвы что-то сумно на душе,-- и жутко, и жалко. Он переглянулся с наймитом, которому тоже слышно было жужжание из-за корчемной двери, и сказал:

-- Молятся!.. Так, говоришь, Янкель поехал в город?

-- Поехал.

-- И что ему за охота? Ну, как его-то как раз Хапун и цапнет?

-- То-то и оно! -- ответил наймит.-- Кабы так на меня. то даром, что я воевал со всяким басурманским народом и имею медаль,-- а ни за какие бы, кажется, карбованцы не поехал. Сидел бы себе в хате,-- небось, из хаты не выхватит.

-- А почему? Если уж кого схватить, то схватит и в хате. Почему в хате нельзя?

-- Почему?.. Если вам нужно выбрать шапку или хотя рукавицы, вы куда за ними пойдете?

-- Да никуда, как в лавку.

-- А почему в лавку?

-- Потому что в лавке шапок видимо-невидимо.

-- Вот то-то и оно. Посмотрели бы вы теперь в синагоге: там тоже жидов видимо-невидимо! Толкутся, плачут, кричат так, что по всему городу слышно, от заставы и до заставы. А где толкун мошкары толчется, туда, известно, и птица летит. Дурак бы был и Хапун, если бы стал вместо того по лесам да по селам рыскать и высматривать. Ему только один день в год и дается, а он бы его так весь и пролетал понапрасну. Еще в которой деревне есть жид, а в которой, может, и не найдется.

-- Ну, таких мало.

-- Хоть мало, а все-таки... притом, из многолюдства и выбирать много лучше.

Оба замолчали... Мельник подумал, что опять его наймит зашиб хитрыми словами, и ему стало опять неприятно. А из окон все неслись жужжание, и плач, и причитание жидов.

-- Да это еще правда ли? -- заговорил мельник, которому захотелось подразнить наймита.-- Может, так люди брешут! Один дурень сбрехнет, а другой и поверит.

Наймиту эти слова не понравились.

-- Разве это я сам выдумал,-- сказал он,-- или мой отец, или сват... Когда это известно всему крещеному народу.

-- А вы ж сами это видели?-- задорно спросил мельник.

Когда он входил в азарт, то говаривал иногда, что не хочет знать самого чорта, пока его ему не покажут вот так, как на ладони. А теперь он как раз был в самом азарте.

-- А вы ж,-- говорит,-- сами видели? А когда не видали, то и не говорите, что оно есть, вот что!

Наймит спустил маленько голосу и даже что-то закашлялся. Ну, да не такой -- волк его заешь! -- и он человек был, чтобы совсем сдаться.

-- Лгать не стану,-- говорит,-- сам никогда не видал. Ну, а вы, господин мельник, когда-нибудь Киев видели?

-- Нет, не видел, тоже лгать не буду.

-- А он-таки есть, хоть вы его и не видали. Тут уж мельник на такое ясное слово совсем вылупил глаза.

"Вот что правда, то правда,-- подумал он,-- таки Киев есть, хоть я его не видал... Видно, надо верить, когда добрые люди говорят".-- Ну, хорошо... От кого ж вы это слышали?

-- Ба! от кого? А вы от кого про Киев слыхали?

-- Тю-тю! Ну, и язык у вас!.. Чистая бритва, чтоб ему отсохнуть!

-- Нечего моему языку отсыхать... Если все говорят, то, значит, правда. Не была бы правда, то все не говорили бы, а говорили бы одни только брехуны...

-- Тьфу! Да остановись ты хоть на одну минуту! Я ж уже и сам вижу, что не в тот переулок завернул... А только я б хотел знать, откуда она взялась, такая людская намолвка...

-- А оттуда и взялась, что это каждый год бывает. Что бывает, о том и люди говорят, а чего не бывает, о том и говорить не стоит...

-- А, вот человек какой! Скажи мне, наконец, что ж такое бывает, вот что!

-- Эге-ге, так, видно, вы и этого не знаете, что бывает в судный день?..

-- Знал, то б и не спрашивал. Слышу давно,-- люди болтают, вот как и ты: Хапун, Хапун, а в какой разум это говорится, и не знаю.

-- Так бы сразу и говорили, что не знаете... Если хочете знать, так я и расскажу, потому что я побывал-таки на свете, не то что вы. Я и в городе живал не по одному году, и у жидов не первый раз служу.

-- А не грех тебе? -- усомнился мельник.

-- Другому кому грех, а солдату все можно! Нам такая и бумага выдается.

-- Разве что бумага...

После этого уже солдат рассказал мельнику дружелюбно всю правду про Хапуна и про то, как он в этот день ежегодно хватает по одному жиду.

Хапун, надо и вам сказать, когда вы не знаете, есть особенный такой жидовский чорт. Он, скажем, во всем остальном похож и на нашего чорта, такой же черный и с такими же рогами, и крылья у него, как у здоровенного нетопыря; только носит пейсы да ермолку и силу имеет над одними жидами. Повстречайся ему наш брат, христианин, хоть о самую полночь, где-нибудь в пустыре или хоть над самым омутом, он только убежит, как пугливая собака. А над жидами дается ему воля: каждый год выбирает себе по одному и уносит...

Для этого-то вот выбора и назначается иом-кипур, судный день. Жиды задолго уже до того дня молятся, плачут, рвут на себе одежду и даже головы зачем-то обсыпают золой из печки. Перед вечером все моются в речке или на ставах [Став-пруд], а как зайдет солнце, идут бедняги в свою школу [Простой народ в Юго-западном крае называет синагоги школами], и уж какой оттуда крик слышится, так и не приведи бог: все орут в голос, а глаза от страха закрывают... А уже в это время, как только небо погаснет и станет на нем вечерняя звезда. Хапун вылетает из своего места и вьется над школой, и в окна бьет крылом, и высматривает себе добычу. Но вот когда уже настоящий страх нападает на жидов, так это в самую полночь. Они нарочно зажигают все свечи, чтобы не было так жутко, падают все на пол и начинают кричать, как будто их кто режет. И когда они так лежат и надрываются, Хапун, как большой ворон, влетает в горницу; все слышат, как от его крыльев холод идет по сердцам, а тот, которого он высмотрел ранее, чувствует, как в его спину впиваются чортовы когти. А! рассказывать об этом и то даже мороз по-за шкурой пройдет, а каково-то бедному жиду!.. Само собою,-- кричит во все горло. Ну, да кто тут услышит, когда и все тоже галдят, как сумасшедшие? А может, кто из соседей и слышит, так что ж тут делать,-- рад, что не ему выпала злая доля!..

Наймит Харько сам слыхал не один раз, как после того в местечке разносился звук трубы, да такой звонкий, жалобный и протяжный... Это служка из школы на прощание трубит вдогонку своему бедному брату, между тем как другие надевают в передней "патынки" (потому что в школу входят в одних чулках) и тихо расходятся по домам.

Видел также Харько, как они останавливались кучками против месяца и бормотали что-то, и подымались на цыпочки, глядя в ночное небо... А в это время, когда уже все до одного разойдутся, на полу в передней комнате сиротливо стоит себе пара "патынков" и ждет своего хозяина... Э! сколько бы ни ждала, никогда не дождется, потому что в этот час над полями и лесами, над горами, ярами и долинами Хапун тащит хозяина патынков по воздуху, взмахивая крыльями и хоронясь от христианского глаза. Рад, проклятый, когда ночь выпадет облачная да темная. А ежели тихая да ясная, как вот сегодня, что месяц светит изо всех сил, то, пожалуй, напрасно чертяка и труды принимал...

-- А почему? -- спросил мельник.

-- А потому, что вот видите вы: стоит любому, даже и не хитрому, крещеному человеку, хоть бы и вам, например, крикнуть чертяке: "Кинь! Это мое!"-он тотчас же и выпустит жида. Затрепыхает крылами, закричит жалобно, как подстреленный шуляк [Коршун], и полетит себе дальше, оставшись на весь год без поживы. А жид упадет на землю. Хорошо, если не высоко падать или угодит в болото, на мягкое место. А то все равно, пропадет без всякой пользы... Ни себе, ни чорту.

-- Вот так штука! -- сказал мельник в раздумьи и со страхом поглядел на небо, с которого месяц действительно светил изо всей мочи. Небо было чисто, и только между луною и лесом, что чернелся вдали за речкой, проворно летело небольшое облачко, как темная пушинка. Облако, как облако, но вот что показалось мельнику немного странно: кажись, и ветру нет, и лист на кустах стоит -- не шелохнется, как заколдованный, а облако летит, как птица и прямо к городу.

-- А поглядите-ка, что я вам покажу,-- сказал мельник наймиту.

Тот вышел из шинка и, опершись спиной о косяк, сказал хладнокровно:

-- Ну, так что ж? Нашли, что показывать: облак, так и облак! Бог с ним...

-- Да вы поглядите-ка еще,-- ветер есть?

-- Та-та-та-а... Вот оно что!-- догадался наймит.-- Прямо в город мандрует...

И оба почесали затылки, задравши головы кверху. А из окон попрежнему неслось жужжание, виднелись желтые вытянутые лица, шапки на затылке, закрытые глаза, неподвижные губы... Жиденята плакали, надрывались, и опять мельнику показалось, что кто-то другой внутри их плачет и молит о чем-то давно утраченном и наполовину уже позабытом...

-- А! пора и домой,-- очнулся мельник.-- А я было хотел гроши Янкелю отдать...

-- Можно. Я принимаю за них,-- сказал на это наймит, глядя в сторону.

Но мельник притворился, что не слыхал этих слов. Деньги были не такие маленькие чтобы вот так, просто, отдать какому-нибудь пройди-свету, отставному солдату.

-- Прощайте-ка,-- сказал поэтому мельник.

-- Прощайте и вы! А деньги я-таки принял бы.

-- Не беспокойте себя: отдам и самому.

-- Это как себе хотите. А взять и я взял бы, беспокойство небольшое. Ну, пора уж и шинок запирать. Видно, кроме вас никакая собака уже не завернет сегодня.

Наймит опять почесал себе о косяк спину, посвистал как-то не совсем приятно вслед мельнику и стал запирать двери, на которых были намалеваны белою краской кварта, рюмка и жестяной крючок (шкалик). А мельник спустился с пригорочка и пошел вдоль улицы, в своей белой свитке, а за ним опять побежала по земле черная-пречерная тень.

Но теперь мельник раздумывал уже не о своей тени, а совсем-таки о другом...

II

Мельник прошел не более десяти сажен, как в садочке по-за тыном что-то зашуршало и зашумело, будто вспорхнули две большие птицы. Но это были не птицы, а какой-то парубок с девкой, испуганные тем, что мельник сразу вышел из темноты. Впрочем, парубок, видно, был не из страшливых: отойдя еще подальше в тень, так что едва белели под вишнями две фигуры, он крепкою рукой придержал всполохнувшуюся девушку и опять повел тихие речи. А пройдя еще немного, мельник услышал что-то такое, что даже остановился от большой досады...

-- А ты,-- не знаю, как тебя,-- подождал бы хоть целоваться,-- сказал он.-- А то чмокаешь на все село,-- сказал он, подойдя к самому тыну.

-- А тебе, собачий сын, надо в чужие двери нос совать? -- ответил парубок из тени.-- Так вот погоди, я и тебя поцелую дрючком по ногам. Будешь вперед знать, как людям делать помеху.

-- Ну-ну! -- сказал мельник, отходя.-- Подумаешь, важную работу делает... Да и подлый же какой-то парубок, как чмокает, даже человеку стало как будто завидно. Распустился народ!

Он постоял, подумал, почесал в голове и потом, привернувши к сторонке, занес ногу через тын и пошел огородом к вдовиной избушке, что стояла немного поодаль, край села, под высокою тополей... Хатка была малюсенькая да еще сгорбилась и похилилась к земле. Оконце было такое крохотное, что его, пожалуй, трудно было и разглядеть, будь ночь сколько-нибудь потемнее. Но теперь хатка вся так и горела от месячного света, солома на ней казалась золотая, а стена серебряная, и оконце чернело на стене, как прищуренный глаз. Огня в окне не было. Должно быть, у старухи с дочкой нечем было вечерять, незачем было и светить. Мельник постоял, потом тихонько стукнул два раза в оконце и отошел к сторонке.

Недолго еще и постоял, как две полные девичьи руки крепко обвились вокруг его шеи, а меж усов так даже загорелось что-то, как приникли к Мельниковым устам горячие девичьи губы. Э, что тут рассказывать! Если вас кто так целовал, то вы и сами знаете, а если никогда с вами ничего такого не было, то не стоит вам и говорить.

-- Филиппко мой, милый, желанный! -- говорила, ласкаясь, девушка,-- пришел-таки... А я уж ждала-заждалась, думала, иссохну без тебя, как та былинка без воды...

"Э, не иссохла-таки, слава тебе, господи! -- подумал про себя мельник, прижимая рукой не очень-то худощавый стан девушки.-- Слава богу, еще ничего".

-- Когда же рушники готовить будем? -- заговорила девушка, все еще держа руки на плечах Филиппа и обдавая его горячим взглядом черных очей.-- Ведь уж скоро филипповки.

Эта речь пришлась мельнику не так по вкусу, как девичьи поцелуи. "Видишь ты, куда гнет,-- подумал он про себя.-- Эх, Филипп, Филипп, задаст она тебе теперь потасовку". Но, все-таки, набравшись храбрости и отведя свои глаза в сторону, он промолвил:

-- Э, какая ты, Галя, ласая [Лакомая, охочая до чего-нибудь (укр.)]. Сейчас тебе и рушники. Как же это можно, когда я теперь сам мельник и скоро, может, стану первый богатырь (богач) на селе, а ты -- бедная вдовина дочка?

Девку шатнуло от того слова, будто ее ужалила змея. Она отскочила от Филиппа и схватилась рукою за сердце.

-- А я думала... ох, бедная ж моя голова!.. Так чего ж это ты, подлый человек, стучал в оконце?

-- Эге! -- ответил мельник,-- чего стучал... А что же мне и не стучать, если твоя мать должна мне деньги? А ты выскочила да прямо целоваться. Что ж мне... Я тоже умею целоваться не хуже людей.

И он опять протянул к ней руку, но только что его рука коснулась девичьего стана, как стан этот вздрогнул, будто девку ужалила гадюка.

-- Геть! -- крикнула она так сердито, что мельник попятился назад.-- Я тебе не бумажка рублевая, что ты меня хватаешь, будто свою. Вот подойди еще, я тебя так огрею, что ты после того забудешь ласовать на три года.

Мельник растерялся.

-- Вот какая гордячка! А что я, прости господи, жид, что ли, тебе дался, что ты вот так паскудно лаешься?

-- А то не жид, что ли? За полтину уже рубль нарастил, да еще тебе мало: ко мне полез за процентами. Геть! -- говорю тебе,-- постылый!

-- Ну, девка!-- сказал мельник, опасливо закрывая лицо ладонью, как бы в самом деле не засветила кулаком.-- Я вижу, с тобой умному человеку и говорить нельзя. Ступай, посылай сюда мать!

Но старуха уже и без того вышла из хаты и низко кланялась мельнику. Тому это больше понравилось, чем разговор с дочкой. Он подбоченился, и его черная тень на стене так задрала голову, что мельник и сам уже подумал, как это у нее не свалится шапка.

-- А знаешь ты, старая, зачем я это пришел? -- говорит мельник старухе.

-- Ох, как мне, бедной, не знать! Видно, ты пришел за моими деньгами...

-- Хе! не за твоими, старая,-- засмеялся мельник,-- а за своими собственными. Я ж не разбойник какой, чтобы по ночам за чужими деньгами в чужой дом приходить.

-- Вот же таки за чужими и пошел,-- задорно сказала Галя, взявшись в боки и наступая на мельника,-- не за своими же!

-- Фу, скаженная [Сумасшедшая] девка! -- сказал тут мельник, отступивши еще шага на два.-- Ей-богу, такой скаженной девки во всем селе не сыщется. Да не то что в селе, а во всей губернии. Ну, подумай ты, какое слово сказала! Да не будь вот тут одна твоя мать, что, пожалуй, и не пойдет в свидетели, так я бы тебя в суд потянул за бесчестье! Эй, одумайся ты хоть немного, девка!

-- А что мне одуматься, когда это чистая правда?

-- Какая ж это правда, когда старая у меня брала, да и не выплатила?

-- Брешешь, брешешь, как рудая собака! Когда был еще подсыпкой [Подсыпка -- работник на мельнице, засыпающий зерно на жернова] да со мной женихался, хотел в дом идти и не говорил, что назад потребуешь. А как дядько помер да сам ты стал мельником, так весь долг уже перебрал, и еще тебе мало?

-- А мука?

-- Ну, что мука?.. За муку сколько следовало?

-- По копе [Копа -- в малороссийском счете значит шестьдесят. Копа грошей -- тридцать копеек], вот сколько! Дешевле никто не отдаст, хоть куда хочешь поезжай, хоть себя отдай в придачу.

-- А с нас ты сколько уже перебрал?

-- Тю-тю, куда махнула! Язык у тебя тоже... не хуже Харька. Да и я ж тебе на то отвечу: а проценты? Ну, что взяла?

Но Галя уже ничего не ответила. С девками оно часто так бывает: говорит-говорит, лопочет-лопочет, как мельница на всех поставах, да вдруг и станет... Подумаешь, воды нехватило... Так где! Как раз полились рекой горькие слезы и отошла в сторону, все утирая глаза широким рукавом белой сорочки.

-- От так! -- сказал мельник, чуть-чуть растерявшись, а все-таки довольный.-- Чего б это я кидался на людей. Не лаялась бы, так нечего бы и плакать.

-- Молчи, молчи, молчи ты, постылая тварюка!

-- Молчи же и ты, когда так!

-- Молчи уже, молчи, моя доню,-- прибавила старая мать, тяжко вздохнувши. Старуха боялась, видно, рассердить мельника. Видно, у старухи нечем было заплатить в этот срок.

-- Не стану молчать, мамо, не стану, не стану! -- ответила девушка, точно в мельнице опять пошли ворочаться все колеса.-- Вот же не стану молчать, а коли хотите вы знать, то еще и очи ему выцарапаю, чтобы не смел на меня славу напрасно наводить, да в окна стучать, да целоваться!.. Зачем стучал, говори, а то как хвачу за чуприну, то не погляжу, что ты мельник и богатырь. Небось, прежде не гордился, сам женихался да ласковыми словами сыпал. А теперь уж нос задрал, что и шапка на макушке не удержится!

-- Ой, доню, молчи уже, моя смирная сиротинка! -- сокрушенно вздохнув, опять промолвила старуха.-- А вы, пан мельник, не взыщите на глупой девке. Молодой разум с молодым сердцем -- что молодое пиво на хмелю: и мутно, и бурлит. А устоится, так станет людям на усладу.

-- А мне что? -- сказал мельник.-- Мне от нее ни горечи, ни услады не нужно, потому что я вам не ровня. Мне мои деньги подай, старая, то я на вашу хату и глядеть не стану.

-- Ох, нет же у нас! Подожди еще, заработаем с дочкой вдвоем, то и отдам. Ох, горе мое, Филиппушка, и с тобою, и с нею. Ты ж сам знаешь, я тебя, как сына, любила, не думала, не гадала, что ты с меня, старой, те долги поверстаешь да еще с процентами... Хоть бы дочку, что ли, замуж отдать, и женихи есть добрые,-- так вот не идет же ни за кого, хоть ты что хочешь. С тех пор, как ты с нею женихался, будто заворожил девку. Лучше, говорит, меня в сырую землю живую закопайте. Дурная и я была, что позволяла вам до зари вот тут простаивать... Ой, лихо мне!..

-- А как же мне быть? -- сказал мельник.-- Ты, старая, этих дел не понимаешь: у богатого человека расход большой. Вот я жиду должен, так отдаю,-- отдавайте и вы мне.

-- Подожди еще хоть с месяц.

Мельник поскреб в голове и подумал. Маленько-таки разжалобила его старуха, да и Галина узорная сорочка недалеко белела.

-- А я, смотри, за это еще десять грошей накину,-- сказал он.-- Лучше отдала бы.

-- Что ж делать! Видно, моя доля такая,-- вздохнула старуха.

-- Ну, значит, так оно и будет. Я не жид, я-таки добрый себе человяга. Другой бы, уж я верно знаю, накинул бы двадцатку, а я накину десять грошиков и подожду еще до филипповок. Да смотри, тогда уже стану жаловаться в правлении.

И он, не поклонившись, повернулся и пошел себе за околицу, даже не оглядываясь на избушку, у которой долго еще белела узорная сорочка,-- белела на черной тени под вишеньем, как белесая звездочка,-- и нельзя было мельнику видеть, как плакали черные очи, как тянулись к нему белые руки, как вздыхала девичья грудь.

-- Не плачь, доню, не плачь, ясочко,-- говорила старая Прйся.-- Не плачь, видно такая божия воля.

-- Ох, мамо, мамо, хоть бы дала ты мне очи ему выцарапать! Может, мне стало бы легче...

III

После этого мысли мельника стали как-то еще скучнее. "Вот что-то все не так идет на этом свете,-- думал он про себя.-- Как-то человеку все бывает неприятно, а отчего -- и не придумаешь... Вот теперь девка прогнала... Жидом назвала, эге-ге!.. Кабы я был жид да имел такие деньги, да торговлю... да разве так стал бы я жить, как теперь? Нет, не так! Теперь что и за жизнь моя: работай на мельнице сам, ночь не доспи, днем не доешь; гляди за водой, чтоб не утекла, гляди за камнем, гляди за валом, гляди на валу за шестернями, гляди на шестернях за пальцами, чтобы не повыскочили да чтобы забирали ровно... Э, гляди еще и за проклятым работником-подсыпкой. Разве можно положиться на наймита? Только уйди на минуту, сейчас и он, подлый человек, куда-нибудь к девкам утреплется... А, собачья жизнь мельника, просто-таки собачья! Правда, с тех пор как дядько -- царствие ему небесное! -- убухался с пьяных глаз в омут, стал я сам хозяином и деньжонки-таки стали заглядывать в мои карманы... Так опять что в них? За рублем каким-нибудь

ходишь, ругают тебя и за глаза, да и в глаза не стыдятся, а много ли прибытку? -- пустяки! Никогда крещеному человеку не перепадет столько, как жиду. Вот когда бы еще жида унесла нелегкая из села, тогда, пожалуй, можно бы и развернуться. Ни к кому не пошли бы, как ко мне, и за копейкой, когда надо на подати, и за товаром. Ге! можно бы и шиночек, пожалуй, открыть... А на мельнице или бы кого посадил, или хоть продал бы. Ну ее! Как-то все человек еще не человек, пока работает. То ли дело, когда от грошика грошик сам родится. Этого только дурак не понимает... Заведи себе пару свиней; глядишь -- свинья зверь плодущий -- через год уж чуть не стадо! Так вот и деньги: пускаешь их по глупым людям, будто на пастбище, только не зевай да умей опять согнать по времени: от гроша родится десять грошей, от карбованца -- десять карбованцев..."

Тут мельник вышел уже на самый гребень дороги, откуда начинался пологий спуск к реке. Впереди уже слышно было,-- так, чуть-чуть, когда подыхивал ночной ветерок,-- как сонная вода звенит в потоках. А сзади, оглянувшись еще раз, мельник увидел спящее в садах село и под высокими тополями маленькую вдовину хатку... Он остановился и подумал немного, почесываясь в голове.

-- Э, дурак я был бы! -сказал он, наконец, пускаясь в дальнейший путь.-- Пожалуй, не выдумай дядько в ту ночь, напившись наливочки, залезть в омут, теперь меня бы уж окрутили с Галею, а она вот мне и неровня. Эх, и сладко же, правда, целуется эта девка -- у-у как сладко!.. Вот и говорю, что как-то все не так делается на этом свете. Если б к этакому личику да хорошее приданое... ну, хоть такое, как кодненский Макогоненко дает за своею Мотрей... Э, что уж тут и говорить!..

Он кинул из-под горы последний взгляд назад, когда на селе раздался вдруг удар колокола. Что-то как будто упало с колокольни, что виднелась среди села, на горочке, и полетело, звеня и колыхаясь, над полями.

"Эге, это уже, видно, становится на свете полночь",-- подумал он про себя и, зевнув во всю глотку, стал быстро спускаться под гору, думая опять о своем стаде. Ему так и виделись его карбованцы, как они, точно живые, ходят по разным рукам, в разных делах и все пасутся себе, и все плодятся. Он даже засмеялся, представивши, как разные дурни думают, что стараются для себя. А придет срок, и он, хозяин стада, опять сгонит его в свой кованый сундук вместе с приплодом.

И все это были мысли приятные. Только воспоминание о жиде опять испортило эти приятные мысли. Мельнику стало скучно, что жид захватил себе все пастбища и его бедным карбованцам нечем кормиться, негде плодиться, точно стаду баранов на выгоне, где уже побывали жидовские козы... Тут уж, известно, не раскормишься.

"Э, чтоб его чертяка забрал, проклятого!" -- подумал мельник, и ему показалось, что вот это самое и есть то, отчего ему так скучно... Вот это самое только и есть плохое на свете. Проклятые жиды мешают крещеному человеку собирать свой доход.

Тут, в половине горы, где тихий и будто сонный шум воды в потоках слышался уже без перерывов,-- мельник вдруг остановился, как вкопанный, и ударил себя ладонью по лбу.

-- Ба, вот была бы штука!.. Право, хорошая штука была бы, ей-богу! Ведь нынче как раз судный день. Что, если б жидовскому чорту полюбился как раз наш шинкарь Янкель?.. Да где! Не выйдет. Мало ли там, в городе, жидов? К тому же еще Янкель -- жидище грузный, старый да костистый,

как ерш. Что в нем толку? Нет, не такой он, мельник, счастливый человек, чтобы Хапун выбрал себе из тысячи как раз ихнего Янкеля.

На минуту в голове мельника, как беспокойные муравьи, закопошились другие мысли:

"Эх, Филипп, Филипп! Нехорошо и думать такое крещеному человеку, что ты себе теперь думаешь. Опомнись! Ведь у Янкеля останутся дети, будет кому долг отдать... А второе-таки и грешно,-- Янкель тебе худого не делал. Может, другим и есть за что поругать старого шинкаря, так ведь с других-то и ты сам не прочь взять лихву..."

Но на эти неприятные мысли, что стали было покусывать его совесть, как собачонки, мельник выпустил другие, еще посердитее:

"Все-таки жидюга, так жидюга, не ровня же крещеному человеку. Если я и беру лихву,-- ну и беру, этого нельзя сказать, что не беру,-- так ведь лучше же, я думаю, отдать процент своему брату, крещеному, чем некрещеному жиду".

В эту минуту и ударило в последний раз на колокольне.

Должно быть, звонарь Иван Кадило заснул себе под церковью и дергал веревку спросонок,-- так долго вызванивал полночь. Зато в последний раз, обрадовавшись концу, он бухнул так здорово, что мельник даже вздрогнул, когда звон загудел из-за горы, над его головой, и понесся через речку, над лесом, в далекие поля, по которым вьется дорога к городу...

"Вот теперь уже все спят на свете,-- подумал про себя мельник, и что-то его ухватило за сердце.-- Все спят себе, кому где надо, только жиды толкутся и плачут в своей школе, да я стою вот тут, как неприкаянная душа, над омутом и думаю нехорошее..."

И показалось ему в тот час все как-то странно... "Слышу,-- говорит,-- что это звон затихает в поле, а самому кажется, будто кто невидимка бежит по шляху и стонет... Вижу, что лес за речкой стоит весь в росе и светится роса от месяца, а сам думаю: как же это его в летнюю ночь задернуло морозным инеем? А как вспомнил еще, что в омуте дядько утоп,-- а я немало-таки радовался тому случаю,-- так и совсем оробел. Не знаю -- на мельницу идти, не знаю -- тут уж стоять..."

-- Гаврило! Эй, Гаврило! -- крикнул он тут подсыпке-работнику.-- Так и есть, на мельнице пусто, а он, лодырь, опять помандровал на село, к девкам.

Вышел Филипп на светлое место, на середину плотины. Слышит: вода просасывается в шлюзах, а ему кажется, что это кто-то крадется из омута и карабкается на колеса...

"Э, лучше пойду-таки спать",-- подумал он про себя... Только прежде еще раз оглянулся.

Месяц давно перебрался уже через самую верхушку неба и смотрелся на воду... Мельнику показалось удивительно, как это хватает в его маленькой речке столько глубины -- и для месяца, и для синего неба со всеми звездами, и для того маленького темного облачка, которое, однако, несется легко и быстро, как пушинка, по направлению из города.

Но так как глаза его уже слипались, то удивлялся он недолго и, отворив отмычкой наружную дверь и запершись опять изнутри задвижкой, чтобы слышать, как вернется гуляка-подсыпка,-- отправился к себе на постель

IV

"Эге-ге, встань, Филипп!.. Вот так штука! -- вдруг подумал он, подымаясь в темноте с постели, точно его кто стукнул молотком по темени.-- Да я ж и забыл: ведь это возвращается из города то самое облачко, которое недавно покатилось туда, да еще мы с жидовским наймитом дивились, что оно летит себе без ветру. Да и теперь ветер, кажись, невелик и не с той стороны. Погоди! История, кажется, тут не простая..."

Сильно клонило мельника ко сну. Но... Вот он вышел босиком на плотину и стал на самой середине, почесывая себе брюхо и спину (на мельнице-таки было не без блох!). В спину ему подувал с запруженной реки ветерок, а спереди прямехонько на него катилось облачко. Только теперь оно было уже не такое легкое, летело не так ровно и свободно, а будто слегка колыхалось и припадало, как подстреленная птица. Когда же оно налетело на луну, то мельник уже ясно понял, что это за история, потому что на светлом месяце так и вырезались черные крылья, а под ними еще что-то и какая-то скрюченная людская фигура, с длинною, трясущеюся бородою...

"Э-эй! Вот тебе и штука,-- подумал мельник.-- Несет одного. Что ж теперь делать? Если крикнуть: "Кинь, это мое!" -- так ведь, пожалуй, бедный жид расшибется или утонет. Высоко!"

Но тут он увидел, что дело меняется: чорт со своею ношей закружился в воздухе и стал опускаться все ниже. "Видно, пожадничал да захватил себе ношу не под силу,-- подумал мельник.-- Ну, теперь, пожалуй, можно бы и выручить жида,-- все-таки живая душа, не сравняешь с нечистым. Ну-ко, благословясь, крикну поздоровее!"

Но вместо этого, сам не знает уж как, он изо всех ног побежал с плотины и спрятался под густыми яворами, что мочили свои зеленые ветви, как русалки, в темной воде мельничного затора. Тут, под деревьями, было темно, как в бочке, и мельник был уверен, что никто его не увидит. А у него в это время уж и зуб не попадал на зуб, а руки и ноги тряслись так, как мельничный рукав во время работы. Однако брала-таки охота посмотреть, что будет дальше.

Чорт со своею ношей то совсем припадал к земле, то спять подымался выше леса, но было видно, что ему никак не справиться. Раза два он коснулся даже воды, и от жида пошли по воде круги, но тотчас же чертяка взмахивал крыльями и взмывал со своею добычей, как чайка, выдернувшая из воды крупную рыбу. Наконец, закатившись двумя или тремя широкими кругами в воздухе, чорт бессильно шлепнулся на самую середину плотины и растянулся, как неживой... Полузамученный, обмерший жид упал тут же рядом.

А надо вам сказать, что наш мельник уже давно узнал, кого это приволок из города жидовский Хапун. А узнавши -- обрадовался и повеселел: "А слава ж тебе, господи,-- сказал он про себя,-- таки это не кто иной, только наш ново-каменский шинкарь! Ну, что-то будет дальше, а только кажется мне так, что в это дело мне мешаться не следует, потому что две собаки грызутся, третьей приставать незачем... Опять же моя хата с краю, я ничего не знаю... А если б меня тут не было!.. Не обязан же я жида караулить..."

И еще про себя думал: "Ну, Филиппушка, теперь твое время настанет в Новой-Каменке!.."

V

Долгое время оба -- и бедный жид, и чертяка -- лежали на плотине совсем без движения. Луна уже стала краснеть, закатываться и повисла над лесом, как будто ожидала только, что-то будет дальше. На селе крикнул было хриплый петух и тявкнула раза два какая-то собака, которой, верно, приснился дурной сон. Но ни другие петухи, ни другие собаки не отозвались,-- видно, до свету еще было порядочно далеко.

Мельник издрог и стал уже подумывать, что это все ему приснилось, тем более что на плотине совсем потемнело и нельзя было разобрать, что там такое чернеет на середине. Но когда долетел из села одинокий крик петуха, в кучке что-то зашевелилось. Янкель поднял голову в ермолке, потом огляделся, привстал и тихонько, по-журавлиному приподнимая худые ноги в одних чулках, попытался улепетнуть.

-- Эй, эй! придержи его, а то ведь уйдет,-- чуть было не крикнул испугавшийся мельник, но увидел, что чорт уже прихватил шинкаря за длинную фалду.

-- Погоди,-- сказал он,-- еще рано... Смотри ты, какой прыткий! Я не успел еще отдохнуть, а ты уже собрался дальше. Тебе-то хорошо, а каково мне тащить тебя, такого здоровенного! Чуть не издох.

-- Ну,-- сказал жид, стараясь выдернуть фалду,-- отдыхайте себе на здоровье, а я до своей корчмы и пешком дойду. Чорт даже привстал.

-- Что такое? Что, я тебе в балагулы [Балагула -- известный в Западном крае специально еврейский экипаж, нечто вроде еврейского дилижанса; длинная телега, забранная холщовым верхом, запряженная парой лошадей, она бывает битком набита евреями и их рухлядью (бебехами). Балагулой же называется и возница], что ли, нанялся, возить тебя с шабаша домой, собачий сын? Ты еще шутишь...

-- Каково могут быть шутки,-- ответил хитрый Янкель, прикидываясь, будто он совсем не понимает, чего от него нужно чорту.-- Я вам очень благодарен за то, что вы меня доставили досюдова, а отсюдова я дойду сам. Это даже вовсе недалекое расстояние. Зачем вам себя беспокоить?

Чорт аж подскочил от злости. Он как-то затрепыхался на одном месте, как курица, когда ей отрежут голову, и сразу подшиб Янкеля крылом, а сам опять принялся дышать, как кузнечный мех.

"Вот так! -- подумал про себя мельник.-- Хоть оно, может быть, и грешно хвалить чорта, а этого я, все-таки, похвалю,-- этот, видно, своего не упустит".

Янкель, присев, стал очень громко кричать. Тут уже и чорт не мог ничего поделать: известно, что пока у жида душа держится, до тех пор ему никаким способом не зажмешь глотку,-- все будет голосить. "Да что толку? -- подумал мельник, оглядываясь на пустую мельницу.-- Подсыпка теперь гуляет себе с девками, а то и лежит где-нибудь пьяный под тыном".

В ответ на жалобный плач бедного Янкеля только сонная лягушка квакнула на болоте да бугай прокинулся в очерете и бухнул раза два, точно в пустую бочку: бу-у, бу-у!.. Месяц, как будто убедившись, что дело с жидом покончено, опустился окончательно за лес, и на мельницу, на плотину, на реку пала темнота, а над омутом закурился белый туман.

Чорт беспечно затрепыхал крыльями, потом опять лег, заложив руки за голову, и засмеялся.

-- Кричи, сколько хочешь. На мельнице пусто.

-- А вы почем знаете? -- огрызнулся еврей и продолжал голосить, обращаясь уже прямо к мельнику: -- Пан мельник, ой, пан мельник! Серебряный, золотой, бриллиантовый! Пожалуйста, выйдите сюда на одну, самую коротенькую секунду и скажите только три слова, три самых маленьких слова. Я бы вам за это подарил половину долга.

"Весь будет мой!" -- сказало что-то в голове у мельника.

Жид перестал кричать, понурив голову, и горько-прегорько заплакал.

Прошло еще сколько-то времени. Месяц совсем ушел уже с неба, и последние отблески угасли на самых высоких деревьях. Все на земле и на небе, казалось, заснуло самым крепким сном, нигде не слышно было ни одного звука, только еврей тихо плакал, приговаривая:

-- Ой, моя Сура, ой, мои детки, мои бедные детки!..

Чорт немного отдышался и сел, все еще сгорбившись, на гати. Над гатью, хоть было темно, мельник ясно увидел пару рогов, как у молодого телка, которые так и вырезались на белом тумане, что подымался из омута.

"Совсем как наш!" -- подумал мельник и почувствовал себя так, как будто проглотил что-то очень холодное.

В это время он заметил, что жид толкает чорта локтем.

-- Что ты толкаешься? -- спросил тот.

-- Нет! Я что вам хочу сказать...

-- Что?

-- Скажите вы мне на милость, и что это у вас за мода -- хватать непременно бедного жида... Почему вы не возьмете себе лучше хорошего гоя. Вот тут живет недалеко отличный мельник.

Чорт глубоко вздохнул. Может, и ему стало-таки скучно около пустой мельницы над омутом, только он пустился в разговор с жидом. Приподняв с головы ермолку, из-под которой висели длинные пейсы,-- он заскреб когтями в голове так сильно, как самый злющий кот скребет по доске, когда от него уйдет мышь,-- и потом сказал:

-- Эх, Янкель, не знаешь ты нашего дела! К ним я не могу и приступиться.

-- Ну! И что тут долго приступаться, что за большово хитрость? Я сам знаю, как вы меня сразу хапинули, что я не успел даже и крикнуть.

Чорт весело засмеялся, так что даже спугнул какую-то ночную птицу на болоте, и сказал:

-- Что правда, то правда: вас хватать легко... А знаешь ты, почему?

-- Ну-у?

-- Потому, что вы и сами хапаете здорово. Я тебе скажу, что такого грешного народа, как вы, жиды, и нет другого на свете.

-- Ой-вай, удивительно! А каково же это на нас греха?

-- А вот послушай...

Тут чорт повернулся к жиду и стал считать по пальцам.

-- Дерете с людей проценты -- раз!

-- Раз,-- повторил Янкель, тоже загибая палец.

-- Людским потом-кровью кормитесь -- два!

-- Два.

-- Спаиваете людей водкой -- три.

-- Три.

-- Да еще горелку разбавляете водой -- четыре!

-- Ну, пускай себе четыре. А еще?

-- Мало тебе, что ли? Ай, Янкель, Янкель!

-- Ну, я не говорю, что этого мало, а только я говорю, что вы не знаете своего собственного дела. Вы думаете, мельник не берет проценты, вы думаете, мельник не кормится людским потом и кровью?..

-- Ну, не бреши на мельника. Он человек крещеный! А крещеный человек должен жалеть не только своих, а всех людей, хотя бы и вас, жидов. Нет, Янкель, трудно к крещеному приступиться.

-- Ой-вай, каково это ошибка! -- крикнул жид весело.-- Ну, так я вам вот что буду говорить.

Он вскочил, и чорт также приподнялся, и оба стояли друг против друга. Жид что-то прошептал, указав через спину на яворы, и, загнув палец, показал его чорту:

-- Раз!

-- Брешешь, не может этого быть! -- сказал чорт, немного даже испугавшись, и сам посмотрел на яворы, где притаился Филипп.

-- Пхе, я лучше знаю! А вы погодите. Он опять прошептал и сказал:

-- Два! А это вот,-- и он еще раз зашептал чорту на ухо,-- будет три, как честный еврей!..

Чорт покачал головой и повторил в раздумья:

-- Не может быть.

-- Давайте об заклад побьемся. Если моя правда, то вы через год меня отпустите целого и еще заплатите мне убытки...

-- Ха! Я согласен. Вот это была бы штука, так штука! Тогда бы я не дал маху...

-- Ну, я вам говорю, вы сделаете славный гешефт!.. В это время на селе крикнул тот же петух, и хотя крик был такой же сонный и на него опять никто нигде не откликнулся среди молчаливой ночи, но Хапун встрепенулся.

-- Э! Ты мне тут все сказки рассказываешь, а я и уши развесил. Лучше синица в руки, чем журавль в небе. Собирайся!

Он взмахнул крыльями, взлетел сажени на две над плотиной и опять, как коршун, кинулся на бедного Янкеля, запустивши в спину его лапсердака свои когти и прилаживаясь к полету...

Ох, и жалобно же кричал старый Янкель, протягивая руки туда, где за рекой стояла на селе его корчма, и называя по имени жену и деток:

-- Ой, моя Сурке, Шлемка, Ителе, Мовше! Ой! господин мельник, господин мельник, пожалуйста заступитесь, скажите три слова! Я ж вижу вас, вот вы стоите тут под явором. Пожалейте бедного жида, ведь и жид тоже имеет живую душу.

Очень жалобно причитал бедный Янкель! У мельника будто кто схватил рукою сердце и сжал в горсти. А чертяка точно ждал чего,-- все трепыхался крыльями, как молодой стрепет, не умеющий летать, и тихо-тихо размахивал Янкелем над плотиной...

"Вот подлый чертяка,-- подумал про себя мельник, прячась получше за явором,-- только мучает бедного жида! А там, гляди, и петухи еще запоют..."

И только он подумал это, как чорт захохотал на всю реку и разом взвился кверху... Мельник задрал голову, но через минуту чорт казался уже не больше вороны, потом воробья, потом мелькнул, как муха, как комарик... и исчез.

А на мельника тут-то и напал настоящий страх: затряслись коленки, застучали зубы, волосы поднялись дыбом, и уж сам он не помнит хорошенько, что с ним было дальше...

VI

-- Стук-стук!..

-- Стук-стук-стук!.. Стук-стук!.. Что-то стучало в дверь мельницы, так что гул ходил по всему зданию, отдаваясь во всех углах. Мельник подумал, уж не чертяка ли вернулся,-- недаром шептался о чем-то с жидом,-- и потому он зарылся с головой в подушку.

-- Стук-стук!.. Стук-стук!.. Эй, хозяин, отчиняй!

-- Не отчиню.

-- А почему так не отчините? Мельник приподнял голову.

-- Э, кажись, голос подсыпки Гаврилы... Гаврило, ты?

-- А то кто?

-- Побожись!

-- Ну?

-- Побожись!

-- Да ну же, ей-богу, я! Где ж это видано, чтоб я да не я был? Еще и божись. Вот чудасия...

Мельник все-таки поверил не сразу. Он взошел наверх и тихонько посмотрел из оконца, что было над дверьми. Действительно, внизу у стены спокойно стоял подсыпка и делал такое дело, что, пожалуй, никто и не слыхал, чтобы черти когда-нибудь такое делали. У мельника отлегло от сердца, он сошел вниз и отпер дверь.

Подсыпку даже отшатнуло, когда он увидел мельника в дверях.

-- Э, хозяин, что такое с вами?

-- А что?

-- Да побойся бога, зачем это ты морду всю в муке вымазал? -- белая, как стена!

-- А ты, часом, не по-над речкою ли шел?

-- А по-над речкою.

-- А не глядел ли кверху?

-- А может, глядел и кверху.

-- А не видал ли, часом, того?

-- Кого?

-- Кого!.. Дурень! Того, что хапнул шинкаря Янкеля.

-- А какой его бес хапнул?

-- Какой!.. Известно какой -- жидовский Хапун! Не знаешь разве, какой у них сегодня день!..

Подсыпка посмотрел на мельника мутным взглядом и спросил:

-- А вы на селе, часом, не были?

-- Был.

-- А в шинок не заходили?

-- Заходил.

-- А горелки не выпили?

-- Тьфу! Вот и говори с дурнем. Горелку я пил у попа, а все-таки своими глазами вот сейчас видел: чертяка на плотине отдыхал вместе с жидом.

-- Где?

-- Вот тут, на самой середине.

-- Ну, и что?

-- Ну, и...-- мельник свистнул и махнул рукой по воздуху.

Подсыпка посмотрел на плотину, потом, задравши голову, на небо и почесал в чуприне.

-- Э, вот это так чудеса! Что ж теперь будет? Как же теперь без жида?

-- А на что тебе непременно жид, а?

-- Э, не говорите, хозяин: без жида как-то оно не того... без жида не можно и быть...

-- Тю!.. Дурень, так дурень и есть!

-- Что вы лаетесь? Я и сам не скажу, что умный, а все-таки знаю, что просо, а что гречка; работать иду на мельницу, а водку пить -- в шинок. Вот вы и скажите мне, когда вы такой умный: кто ж у нас теперь будет шинковать?

-- Кто?

-- А таки кто?

-- А может и я?

-- Вы?

Подсыпка посмотрел на мельника, вылупивши глаза, потом покачал головою, щелкнул языком и сказал:

-- Ну, разве что так!

Тут только мельник заметил, что подсыпку плохо держат ноги и что парубки опять подбили ему левый глаз. Харя была у этого подсыпки, сказать правду, такая паскудная, что всякому человеку, при взгляде на нее, хотелось непременно плюнуть. А поди ты: до девчат был самый проворный человек, и не раз-таки парни делали на него облаву и бивали до полусмерти... Что бивали, это, конечно, еще не большое диво, а то чудно, что было-таки за что бить!

"Вот ведь нет на свете такой паскудной хари,-- подумал, глядя на него, мельник,-- которую бы ни одна девка не полюбила. А то и две, и три, и десять... Тьфу ты пропасть!.."

-- Вот что, Гаврилушко,-- сказал все-таки мельник ласковым голосом,-- поди ляг со мною. Когда человек видел такое, что я видел, так что-то бывает страшно.

-- А мне что? То и лягу.

Через минуту какую-нибудь подсыпка начал уже посвистывать носом. А скажу вам, такого свистуна носом, как тот подсыпка, другого и не слыхал. Кто этого не любит, так уж с ним в одной хате не ложись,-- всю ночь не уснешь...

-- Гаврило,-- сказал мельник,-- эй, Гаврило!

-- А что еще? Чего бы я это и сам не спал, и другому не давал?

-- Били тебя опять?

-- Ну, так что? -- Где?

-- Все надо вам знать. На Кодне.

-- Уж и на Кодне?.. Зачем тебя туда понесло?

-- Зачем... Чего бы я спрашивал, гы-гы-гы!..

-- Мало тебе ново-каменских девок!

-- Тьфу! Мне на них и смотреть уже на ново-каменских обридло. Ни одной по мне нет.

-- А Галя вдовина?

-- Галя... А что ж такое Галя?

-- А ты к ней ходил?

-- Так неужели же нет?

Мельника даже подкинуло на постели.

-- Брешешь, собачий сын, чтобы твоей матери лихорадка!

-- Вот же и не брешу, я и никогда не брешу. Пускай за меня умные брешут.

Подсыпка зевнул и сказал засыпающим голосом:

-- Помните, хозяин, как у меня правый глаз на всю неделю запух, что и не было видно...

-- Ну?

-- Она это, собачья дочка, так угостила... Тьфу на нее, вот что!.. А то еще: Галя!

"Разве что так",-- подумал мельник.-- Гаврило, а Гаврило!.. Вот, собачий сын, опять засвистел... Гаврило!

-- Что еще? Загорелось, что ли?

-- Хочешь ты жениться?

-- Сапогов еще не сшил. Вот сошью, тогда и подумаю.

-- А я бы тебе справил чоботы на дегтю... И шапку, и пояс.

-- Разве что так. А вот я что вам скажу, так это будет еще умнее.

-- А что?

-- А то, что уже на селе петухи кричат. Слышите, как заводят?

И правда: на селе, может быть в Галиной хате, кричал-надрывался горлан-петух: ку-ка-ре-ку-у...

-- Кук-ка-ре-ку-у... ку-у... ку-у! -- отвечали ему на разные голоса и ближние, и дальние, с другого конца села, так что от петушиных криков точно в котле кипело, да и в стенах каморки побелели уже все, даже самые маленькие щели.

Мельник сладко зевнул:

-- Ну, теперь они далеко! Поминай Янкеля как звали... Вот штука, так штука! Если эту штуку кому-нибудь рассказать, то, пожалуй, брехуном назовут. Да мне об этом, пожалуй, и говорить не стоит... Еще скажут, что я... Э, да что тут толковать! Когда бы я сам жида убил или что-нибудь такое, а тут я ни при чем. Что мне было мешаться в это дело? Моя хата с краю, я ничего не знаю. Ешь пирог с грибами, а держи язык за зубами; дурень кричит, а разумный молчит... Вот и я себе молчал!..

Так говорил сам себе мельник Филипп, чтобы было легче на совести, и только когда уже вовсе стал засыпать, то из какого-то уголка в его сердце выползла, как жаба из норы, такая мысль:

"Ну, Филипп, настало твое время!"

Эта мысль прогнала у него из головы все другие и села хозяйкою.

С тем и заснул.

VII

Вот раненько утром, роса еще блестит на траве, а мельник уже оделся и идет по дороге к селу. Приходит на село, а там уж люди снуют, как в муравейнике муравьи: "Эй1 не слыхали вы новость? Вместо шинкаря привезли из городу одни патынки".

Вот было в то утро в Новой-Каменке и разговоров, и пересудов, да немало-таки и греха!

Вдова Янкеля, получив вместо мужа пару патынок, совсем растерялась и не знала, что делать. Вдобавок еще Янкель, с большого ума, да не надеявшись, что его заберет Хапун, захватил с собою в город всю выручку и все долговые расписки с бумажником. Конечно, мог ли бедный жид думать, что из целого кагала выхватит как раз его?

-- Вот так-то всегда человек: не чует, не гадает, что над ним невзгода, как тот Хапун, летает,-- толковали про себя громадские люди, покачивая головами и расходясь от шинка, где молодая еврейка и ее бахори (дети) бились об землю и рвали на себе волосы. А между прочим, каждый думал про себя: "Вот, верно, и моя запись улетела теперь к чорту на кулички!"

Сказать правду, так не очень много нашлось в громаде таких людей, у которых заговорила маленько совесть:

"А таки не грех бы отдать жидовке, если не с процентами, то хоть чистые деньги..." А если уж говорить всю правду целиком,-- то никто не отдал ни ломаного шеляга...

Не отдал и мельник. Ну, да мельник себя в счет не ставил.

Вот вдова Янкеля и просила, и молила, и в ногах валялась, чтобы господа-громадяне согласились отдать хоть по полтине за рубль, хоть по двадцати грошей, чтоб им всем сиротам не подохнуть с

голоду да как-нибудь до городу добраться. И не у одного-таки хозяина с добрым сердцем слезы текли по усам, а кое-кто толкнул-таки локтем соседа:

-- Побоялись бы вы бога, сосед! Вы ж, кажется, что-то такое должны были жиду. Отдали бы вот... Ей-богу, надо бы вам хоть сколько-нибудь отдать.

Но сосед отвечал:

-- А что мне отдавать, когда я ему своими руками все деньги принес до последнего грошика? Второй раз стану платить, что ли? Вот вы, сосед, другое дело...

-- А почему это другое дело, когда как раз то же самое, как и у вас? Незадолго до отъезда пришел ко мне Янкель, да как стал просить: отдай да отдай,-- я и отдал.

Мельник слушал все это, и у него болело сердце... Эх, народ какой! Нисколько не боятся бога! Ну, панове-громадо, видно, при вас плохо не клади,-- как раз утянете; да и кто вам палец в рот сунет, тог чистый дурак!.. Нет, уж от меня не дождетесь... Вы мне этак в кашу не наплюете. Лучше уж я сам вам наплюю...

Одна только старая Прися принесла жидовке два десятка яиц да половину новины и отдала за сколько-то грошей, что осталась должна шинкарю.

-- Бери, небого, не взыщи! Осталось там за мною еще сколько-то, так отдам, как бог даст. Последнее и то принесла.

-- Вот подлая баба!-- обозлился мельник.-- Вчера мне не отдала, а для жидовки так вот и нашлось. Ну, и народ! Старым и то нельзя стало верить. Крещеному человеку не могла отдать... Погоди, старая, сочтусь я с тобой после...

Вот собрала Янкелиха своих бахорей, продала за бесценок "бебехи" и водку, какая осталась,-- а и осталося немного (Янкель хотел из города бочку везти), да еще люди говорили, будто Харько нацедил себе из остатков ведерко-другое,-- и побрела пешком из Новой-Каменки. Бахори за нею... Двух несла на руках, третий тащился, ухватясь за юбку, а двое старших бежали вприпрыжку...

И опять миряне скребли свои затылки. У кого была совесть, тот себе думал: "Хоть бы подводу дать за жидовские деньги..." Да, видите, побоялся каждый: пожалуй, люди догадаются, что, значит, он с жидом не рассчитался. А мельник опять думал: "Ну, народ! Вот так же и меня будут рады спровадить, если я когда-нибудь дам маху".

Так-то бедная вдова и поплелась себе в город, и уж бог ее знает, что там с нею подеялось. Может, присосалась где с детьми к какому-нибудь делу, а может, и пропали все до одного с голоду. Все бывает! А впрочем, жиды своего не покидают. Худо-худо, а все-таки дадут как-нибудь прожить на свете.

Стала после этого громада толковать, кто ж теперь у них, в Новой-Каменке, будет шинкарем? Потому что, видите ли, хоть Янкеля не стало, а шинок все стоял себе на пригорочке, и на дверях остались намазанные белою краской кварта и жестяной крючок...

И даже Харько сидел себе на пригорочке и покуривал люльку, выжидая, кого-то бог пошлет ему в хозяева.

Правда, один раз, под вечер, когда громадские люди стояли у пустой корчмы и разговаривали о том, кто теперь будет у них шинковать и корчмарить,-- подошел к ним батюшка и, низенько поклонясь всем (громада -- великий человек, пред громадою не грех поклониться хоть и батюшке), начал говорить о том, что вот хорошо бы составить приговор и шинок закрыть на веки вечные. Он бы, батюшка, и бумагу своею рукой написал и отослал бы ее к преосвященному. И было бы весьма радостно, и благолепно, и миру преблагополучно.

Старые люди, а за стариками и бабы стали было говорить, что батюшкина чистая правда, а мельнику то слово показалось совсем неправильно и даже обидно.

"Вот тебе и батько,-- подумал он с сердцем,-- вот тебе и приятель! Да нет, погоди еще, пан-отче, что будет..."

-- Вот это-таки, батюшка, ваша правда,-- льстиво заговорил он,-- что от той бумаги будет благополучно... А только, не знаю я, кому: громаде или вам. Сами вы,-- не взыщите на моем слове! -- всегда водочку из города привозите, то вам и не надо шинка. А таки и то вам на руку, что владыка станет вашу бумагу читать да похваливать.

Громадяне усмехнулись себе в усы, а батюшка только плюнул от великой досады, нахлобучил соломенную шляпу и пошел прочь от шинка по улице, будто не за тем и приходил...

Ну, что уж тут рассказывать! Я думаю, вы и без того догадались, что мельник задумал сам корчмарить в той жидовской корчме. А задумавши, поговорил хорошенько с громадою, угостил-таки кого надо в земском суде, с исправником умненько потолковал, потом с казначеем, а наконец со становым приставом да с акцизным надзирателем.

Вернувшись после всего этого на село, пошел мельник к шинку, а там сидит Харько и покуривает на пригорочке люльку. Мельник только мотнул ему головой, как Харько,-- хоть и гордый человек,-- тотчас вскочил на ровные ноги и подбежал к нему.

-- Ну, что скажешь? -- спросил у него мельник.

-- А что мне говорить? Подожду, не скажете ли вы мне чего-нибудь.

-- То-то!

Не стал уже теперь мельника словами гвоздить, а сгреб в обе руки картуз и, выслушавши, что ему сказал Филипп, ответил умненько:

-- Рад стараться для вашей хозяйской милости!

И стал мельник шинковать в Новой-Каменке лучше Янкеля, и стал сдавать людям на выпас свои карбованцы, а как придет срок -- сгонять их опять в свою скрыню, вместе с приплодом. И никто уже не мешал ему в Новой-Каменке.

А что люди не раз от него плакали горькими слезами,-- ну, и это тоже правда... Таки плакали не мало: может, не меньше, чем от Янкеля, а может, еще и побольше,-- этого уж я вам не скажу наверное. Кто там мерил мерою людское горе, кто считал счетом людские слезы?..

Никто не мерил, никто и не считал, а старые люди так говорят: идет или ходит, на одно выходит, что клюкой, что палкой -- все спине не сладко... Не знаю, как кто, а я думаю, что это правда...

VIII

Вот, признаться вам, и не хотелось бы мне про своего приятеля такое рассказывать, а делать нечего: начал, так надо довести до конца,-- из песни, говорится, и слова одного не выкинешь...

Вот, видите, какое дело... Старому Янкелю только и нужна была людская копейка. Бывало, где хоть краем уха заслышит, что у человека болтается в кармане рубль или хоть два, так у него сейчас и засверлит в сердце, сейчас и придумывает такую причину, чтобы тот рубль, как карася из чужого пруда, выудить. Удалось -- он и радуется себе со своею Суркой.

Ну, а уж мельнику этого мало. Янкель сам перед всяким человеком в три погибели гнулся, а мельник людей гнет, а сам голову дерет кверху, как индюк. Янкель, бывало, юркнет к становому с заднего хода и трусится у порога, а мельник валится на крыльцо, как в свою хату. Янкелю, если под пьяную руку кто и в ухо заедет, так он сильно не обижался: повизжит, да и перестанет, разве потом выторгует лишний пятак. А мельник и сам не одному христианину так чуприну скубнет, что, пожалуй, и в руках останется, а из глаз искры, как на кузнице из-под молота, посыплются... Да, вот какое дело; мельнику и денежки отдай, и почет. Перед иконой люди низко кланялись, а перед моим приятелем еще ниже.

А ему все что-то мало. Ходит сердитый да невеселый; будто его щенок какой за сердце теребит. И все себе думает:

"А не так что-то на свете устроено -- нет, не так! Что-то человеку и с деньгами не так весело, как бы хотелось".

Вот раз Харько его и спрашивает:

-- А что вы это, хозяин, невеселый все ходите, будто кто вас в помои окунул? Чего еще ваша хозяйская душа хочет?

-- Может, если б я женился, то стало бы мне повеселее.

-- Так оженитесь, на здоровье вам.

-- То-то вот и оно. А как тут оженишься, когда дело не выходит, с какой стороны за него ни ухватись? Я уж скажу тебе правду: как был я еще не мельник, а только подсыпка, то любился тут на селе с Галей вдовиной, может знаешь... И если б дядько не утоп, то был бы я уже женатый. А теперь сам ты рассуди: ведь я ей не ровня.

-- Какая тут ровня! Вам теперь только и жениться, что на богача Макогона дочке, на Мотре.

-- Вот! Я и сам вижу, и люди говорят все одним голосом, что по моим деньгам Макогоновы как раз придутся... Так опять... не по вкусу мне она! Сидит целый день, как копна сена, да семечки лущит. Как взгляну на нее, так будто кто меня за нос возьмет да и отворотит в сторону... То ли дело Галя!.. Вот и говорю: не так как-то на свете устроено. Одну полюбил бы,-- хвать, а деньги-то у другой... Вот иссохну когда-нибудь, как былинка... Светом гнушаюсь.

Солдат вынул изо рта свою носогрейку, сплюнул в сторону и говорит:

-- Плохо! Другой человек ни за что и не придумал бы, как этому делу помочь, а я присоветую, так не пожалеете, что послушались. А пожалуй, еще и отдадите новые сапоги, что остались от Опанаса в залоге, а?

-- Ну, за такое дело и сапогов не жаль, только верно ли ты придумал?..

И действительно, придумал подлый солдат,-- бес его не взял!-- такое придумал, что если б все вышло по его слову, то теперь уж на мельнике черти на том свете воду давно возили бы...

-- Вот,-- говорит,-- слушайте хорошенько. Стало быть, есть вас трое людей -- один мужик да две девки. И, стало быть, нельзя никак одному на двух жениться, потому что вы не турецкой веры.

"Вот, подлый, как все верно сказал! -- подумал мельник.-- Что-то скажет дальше?"

-- Хорошо! Как вы богатый человек и Мотря богатая невеста, так тут уж и малому ребенку ясно: посылайте сватов к старому Макогону.

-- Правда! Да только я это знал и без тебя... А как же с Галей?

-- А вы дослушали до конца? Или, может, сами знаете, что я хотел сказать?..

-- Ну-ну, уж и осердился!

-- Вы всякого человека рассердите. Не такой я человек, чтобы начать речь да и не кончить. Будет и о Гале речь. Она вас любила?

-- А таки так!

-- А вы тогда кто были, как она вас любила?

-- Подсыпка.

-- Так это опять малый ребенок поймет: когда девка любила подсыпку, то и быть ей замужем за подсыпкой.

Мельник вылупил глаза и в голове у него, точно на мельнице в помол, все пошло кругом.

-- Да я же теперь не подсыпка!

-- Вот беда какая. А разве у вас на мельнице нет подсыпки?..

-- Это Гаврило?.. Э-э, вот ты что придумал. Пускай же, когда так, он тебе и сапоги дарит за такую придумку. А я скажу на это, что не дождет ни он, ни его дядья с тетками, чтоб я такое дело потерпел. Вот лучше пойду да ноги ему переломаю.

-- А! Какой горячий человек, хоть яйца в нем пеки!.. Да я ж совсем другое хотел вам сказать...

-- А что ж ты еще после такой шутки можешь сказать, когда мне это не нравится?

-- А вы послушайте.

Харько вынул люльку изо рта, посмотрел на мельника, прищуривши один глаз, и так прищелкнул языком, что у того сразу стало веселее на сердце...

-- А вы, говорю, ее любили и бедную?..

-- То-то что любил!..

-- Ну, так и любите себе на здоровье, когда она будет за подсыпкой. Вот теперь и моей речи конец: вот вы все трое и будете жить на одной мельнице, а четвертый дурень не в счет... Ага! теперь поняли, чем я вас угощаю, медом или дегтем? Нет! Харька били не по голове, а куда следует, оттого и умный вышел: знает, кому достанется орех, кому скорлупа, а кому новые сапоги...

-- А может, еще и не выйдет дело?

-- Почему ж ему и не выйти?

-- Мало ли почему. Вот старый Макогон не согласится.

-- Вот! Когда б я с ним не говорил!..

-- Ну?

-- То-то. Ехал из городу с водкой, а он -- навстречу. То да се, и говорю: "Вот вашей дочери жених -- наш мельник".

-- А он что?

-- "Не дождет, говорит, ваша бабушка! Что, говорит, он стоит?"

-- А ты что?

-- А я говорю: "Вы, видно, не знаете, что нашего жида Хапун унес?"

-- "А когда так, говорит,-- то дело другое: как жида на селе не стало, то и мельник -- стоющий человек..."

-- Ну, хорошо, Макогон согласится. Так еще Галя пойдет ли за подсыпку?..

-- Э, как девку с матерью погонят из хаты, то рада будет жить и на мельнице.

-- Так-то оно так...

IX

Мельник почесался... А делу этому, вот, что я вам рассказываю, идет уж не день, а без малого целый год. Не успел как-то мельник и оглянуться,-- куда девались и филипповки, и великий пост, и весна, и лето. И стоит мельник опять у порога шинка, а подле, опершись спиной о косяк, Харько. Глядь, а на небе такой самый месяц, как год назад был, и так же речка искрится, и улица такая же белая, и такая же черная тень лежит с мельником рядом на серебряной земле. И что-то такое мельнику вспомнилось.

-- Э, послушай, Харько!

-- А что?

-- Какой сегодня день?

-- Понедельник.

-- А тогда, помнишь, как раз суббота была.

-- Мало ли их было суббот...

-- Тогда, год назад, в судный день.

-- А, вот вы что вспомнили! Да, тогда была суббота.

-- А теперь, когда у них судный день придется?

-- Вот я и сам не скажу, когда он придется. Жида поблизости нет, так и не знаю.

-- А небо, гляди, какое чистое, как раз такое, как и в тот день...

И мельник со страхом посмотрел на окно жидовской хаты, не увидит ли опять, как жиденята мотают головами и жужжат, и молятся о своем батьке.

Э, нет! То все уже прошло. От Янкеля не осталось, должно быть, и косточек, сироты пошли по дальнему свету, а в хате темно, как в могиле... И на душе у мельника так же темно, как в этой пустой жидовской хате. "Вот, не выручил я жида, осирочил жиденят,-- подумал он про себя.-- А теперь что-то такое затеваю со вдовиной дочкой..."

-- Эй, хорошо ли оно у нас будет? -- спросил он Харька.

-- Чем плохо? Оно, правда, есть и такие люди, что меду не едят. Может, вы из таких...

-- Не из таких я, а все-таки... Ну, прощай!

-- Прощайте и вы.

Мельник пошел с пригорка, а Харько опять посвистал ему вслед. Посвистал хоть и не так обидно, как тот раз, а все-таки мельника задело за живое.

-- А ты что свищешь, вражий сын? -- сказал он, обернувшись.

-- Вот уж и посвистать нельзя стало человеку! -- обиделся Харько.-- Я у капитана в денщиках жил, и то свистал, а у вас нельзя.

"Правда,-- подумал мельник,-- отчего бы ему и не свистать. А только зачем это все так делается, как в тот вечер?.."

Он пошел с пригорка, а Харько все-таки посвистал еще, хоть и тише... Пошел мельник мимо вишневых садов. глядь -- опять будто две больших птицы порхнули в траве, и опять в тени белеет высокая смушковая шапка да девичья шитая сорочка, и кто-то чмокает так, что в кустах отдается... Тьфу ты пропасть! Не стал уж тут мельник и усовещивать проклятого парня,-- боялся, что тот ему ответит как раз по-прошлогоднему... И подошел наш Филипп тихими шагами к вдовиному перелазу.

Вот и хатка горит под месяцем, и оконце жмурится, и высокий тополь купается себе в месячном свете... Мельник постоял у перелаза, почесался под шапкой и опять занес ногу через тын.

-- Стук-стук!

"Ох, и будет опять буча, как тот раз, а то и похуже,-- подумал про себя мельник.-- Проклятый Харько своими проклятыми словами так мне все хорошо расписал... А теперь, как станешь вспоминать, оно и не того... и не выходит в тех словах настоящего толку. Ну, что будет, то и будет!" -- и он брякнул опять.

Вот в оконце промелькнуло белое лицо и черные очи.

-- Мамо моя, мамонько,-- зашептала Галя.-- А это же опять проклятущий мельник под оконцем стоит да по стеклу брякаеч.

"Эх, не выскочит на этот раз, не обоймет, не поцелует хоть ошибкой, как тогда!.." -- подумал про себя мельник и таки угадал: вышла девка тихонько из хаты и стала себе поодаль, сложив руки под белою грудью.

-- А чего ты опять стучишь?

Хотелось мельнику охватить девичий стан да показать ей сейчас, зачем стучал, и даже, правду сказать, уже пододвинулся он бочком к Гале, да вспомнил, что еще надо Харьковы слова высказать, и говорит:

-- А что мне и не стучать, когда вы мне столько задолжали, что никогда и не выплатитесь? Того и хата ваша не стоит.

-- А когда знаешь, что никогда не выплатим, то незачем и стучать по ночам, безбожный человек! Старую мать у меня в могилу гонишь.

-- А какой ее бес, Галю, в могилу гонит? Если бы ты только захотела, я бы твоей матери старость успокоил!

-- Брешешь все!

-- Нет, не брешу! Ой, Галю, Галю, не могу я так жить, чтобы с тобой не любиться!..

-- Бреши, как собака на ветер... А кто задумал к Макогону сватов засылать?

-- Да уж думал или нет, а я тебе щирую правду говорю, хоть прикажи побожиться: сохну без тебя... А как теперь будет у нас, я тебе сейчас по порядку расскажу, а ты, если ты умная девка, послушаешься меня. Да только смотри, уговор: слушай ты меня ухом, да отвечай языком, а руками чтобы ни-ни! А то я рассержусь.

-- Чудно что-то ты принимаешься,-- сказала Галя, сложивши руки.-- Ну, я послушаю, а только смотри, если ты опять дурницу понесешь, тогда и не проси ты своего бога...

-- Э, не дурницу... Вот видишь ты... как это Харько начинал?..

-- Харько? А что тут между нами Харьку еще начинать?

-- Э, помолчи, а то я не скажу ничего хорошего... Отвечай: ты меня любила?

-- Ну, стала бы я такую сквернную харю целовать, когда б не любила?..

-- А я кто тогда был: подсыпка или нет?

-- А подсыпка. Дал бы бог, чтоб и никогда не был мельником.

-- Тю! не говори лишних слов, а то я собьюсь... Выходит так, что ты любила подсыпку, так, значит, и судьба тебе выйти замуж за подсыпку и жить на мельнице. А как я тебя прежде любил, так и после буду любить, хоть бы сватался к десяти Мотрям.

Галя даже глаза себе протерла,-- не снится ли ей сон.

-- А что это ты такое несешь, человече? Или я вовсе дура, или у тебя в голове одной клепки нехватает. Как же это я пойду за подсыпку, когда ты теперь мельник? И как ты на мне женишься, когда сватов пошлешь к Мотре, а?.. Что ты это несешь, человече, перекрестись ты левою рукой.

-- Вот еще! -- сказал мельник.-- Разве же у меня на мельнице нет подсыпки? А Гаврило... чем тебе не подсыпка? Что маленько дурень, это правда, так нам это, Галечко, еще лучше, я тебе по правде скажу.

Тут только девка разобрала, куда мельник клонит хитрую речь. Всплеснула руками да как заголосит:

-- Ой, мамо, мамонько, что он тут говорит! Да это ж он, видно, в турки хочет записаться да двух жен завести. Тащи ты, мамо, кочергу из хаты, а я покамест своими руками с ним расправлюсь...

Да на мельника! А мельник от нее. Отбежал до перелаза, стал на нем ногой и говорит:

-- А, так-то ты, гадюка! Так выбирайтесь обе с матерью из хаты. Завтра отберу за долги. Геть! А она ему.

-- Выбирайся и ты, турка, сейчас из моего саду, пока он мой. А то как вцеплюсь вот сейчас ногтями, то и Мотря твоя не узнает, где у тебя что было! .

Вот и говори с нею! Плюнул мельник, скорехонько соскочил с тына и пошел из села сердитый. Вышел на гребень горы, откуда уже слышно было, как вода в потоках шумит, так еще обернулся и погрозился кулаком...

А в это время как раз: динь, динь...

Опять зазвонили на селе, на звоннице, самую полночь...

X

Мельник подошел к своей мельнице, а мельница вся в росе, и месяц светит, и лес стоит и сверкает, и бугай, проклятая птица, бухает в очеретах, не спит, будто поджидает кого, будто кого выкликает из омута...

Жутко стало мельнику Филиппу.

-- Эй, Гаврило! -- крикнул он на мельницу.

-- У-У, У-У,-- отозвался с болота бугай, а на мельнице никто ни чи-чирк.

"Э, проклятый парубок! опять помандровал к девкам..." -- подумал мельник, и не хотелось что-то ему идти в пустую мельницу. Хоть и привык, а все-таки вспоминалось иной раз, что под мельничным полом, промежду сваями, не одни рыбы да ужи плавают в темной воде...

Он оглянулся к городу. Тихо, светло, туман чуть-чуть закурился над речкой, что уплывает себе за лес, и не видно ее в светлой мгле... А на небе ни облачка...

Назад посмотрел и опять удивился, откуда в его запруде столько глубины: и для месяца, и для звезд, и для всего синего неба...

Глядь, а в воде по-над звездами будто комарик летит... Пригляделся,-- вырос комарик как муха, потом стал как воробей, как ворона, а вот уж как здоровый шуляк.

-- Цур тобі, пек тобі ["Цур тобі, пек тобі" -- заклинание],-- сказал мельник и, подняв глаза, увидел, что это не в воде, а по воздуху летит что-то прямо к мельнице.

-- А бей тебя сила господня! Это, видно, опять Хапун в город поспешает за добычей. Видишь ты, собачья вера, как заленился на этот раз: полночь пробило, а он еще только в дорогу собрался...

Он стоял так, с задранною головой, а по воздуху уже, как орел, летело, кружась, облако и опускалось книзу; а из того облака что-то жужжало так, как в хорошем пчелином рою, когда рой вылетит из пасеки поверх саду...

-- А, опять у меня на плотине отдыхать задумал? Видишь ты, какую себе моду завел. Погоди, поставлю на тот год "фигуру" (крест), так небойсь, не станешь по дороге, как в заезжий дом, на мою плотину заезжать... Э, а что ж это он так шумит, как змеек с трещоткой, что ребята запускают в городе? Надо, видно, опять за явором притаиться да посмотреть.

Не успел отбежать к яворам, поглядел кверху и чуть не крикнул от страха... Видит -- гость уже близко над мельничною крышей, да еще в руках держит... Вот ни за что и не угадаете, что такое принес чертяка в когтях.

Жида Янкеля! Да, того самого Янкеля, которого год назад утащил, теперь приволок обратно. Держит Янкеля крепко за спину, а Янкель держит в руках большущий узел, завязанный в простыне, и оба ругаются в воздухе, да так шибко, будто десять жидов заспорили на базаре из-за одного мужика...

Камнем упал чорт на плотину. Если бы не мягкий узел, то, пожалуй, Янкелю не собрать бы и костей. Потом оба сразу вскочили на ноги и давай опять галдеть.

-- Ой, ой!.. И что это за свинство,-- закричал Янкель,-- не можете вы полегче на землю спуститься!.. Я думаю, у вас в руках живой человек.

-- Человек да еще узел, чтоб вам обоим провалиться сквозь землю!..

-- Пхе! Чем вам мешает мой узелок? Я его сам держу, вас не заставляю...

-- Узелок! Целая гора всяких бебехов. Насилу дотащил, у-ух! На это и уговора не было...

-- Ну, а где это видно, чтобы человек ехал в дорогу без вещей?.. Везете человека, везите и вещи, это уж и без всякого уговора можно понимать... Разве можно хозяину свое добро бросить?.. Вы, я давно вижу, хотите обмануть бедного Янкеля, так и придираетесь...

-- А!.. Кто тебя, лисицу, обманет, тот и трех дней не проживет. Я уж не рад, что и связался...

-- Вы думаете, я очень рад, что познакомился и-с-вами? Ой-вай, важный пуриц!.. [Барин, важное лицо (евр.)] А вы лучше скажите мне, какой у нас уговор был. Ну, вы, может, забыли, так я вам припомню: мы бились об заклад. Может, вы скажете: мы не бились об заклад? Вот это будет хорошее дело, если вы отречетесь!

-- Кто тебе говорит, что не бились? Разве я тебе сказал, что не бились?

-- Ну, как же вам и сказать, что не бились, когда мы бились вот здесь, на этом самом месте. Может, вы не помните, о чем, так я сейчас припомню. Вы говорите: жиды берут проценты, жиды спаивают народ, жиды жалеют своих, а чужих не жалеют... Ну, может, вы этого не говорили, а я, может, вам не ответил на это: вот тут стоит мельник за явором. Если б он жалел жида, то крикнул бы вам:

"Господин чорт, кидайте,-- у него жена, дети". Но он не крикнет... Раз!

"Вот как угадал, подлый!" -- подумал про себя мельник, а чорт сказал:

-- Ну, раз!

-- А еще я говорю, помните мое слово: как меня здесь не станет, мельник откроет шинок и станет разбавлять водку, а проценты он и теперь дерет как следует... Два!

-- Ну, два,-- подтвердил чорт, а мельник поскреб в голове: "Как это он все мог угадать, проклятый?"

-- А еще я говорю: нам чужие желают, чтоб нас черти взяли, это правда... А как вы думаете, если б здесь сейчас были наши жидки да увидели, что вы со мной хотите делать,-- какой бы они тут гевалт подняли, а? А об мельнике через год, кого ни спросите, свои братья скажут: а пусть его чорт унесет... Три!

-- Ну, три!.. я и не отрекаюсь.

-- Вот это хороший интерес был бы, если б вы еще отрекались. Какой бы вы были после этого честный еврейский чорт? А вы лучше скажите, какой уговор?

-- Я все исполнил: оставил тебя на год живым -- раз. Понес сюда -- два...

-- А три? Что же будет три?

-- Чего еще? Выиграешь заклад,-- отпущу тебя на все четыре стороны.

-- А убытки?.. Разве вы не должны вернуть мне убытки?..

-- Убытки? Какие ж у тебя могут быть убытки, когда мы тебе дали торговать у нас без всяких патентов целый год?.. Ну, что? Такой барыш на земле в три года не возьмешь... Смотри сам: я тебя захватил отсюда в одном лапсердаке, даже без патынков, а сюда какой ты узел приволок, а? Откуда же он взялся, если у тебя все были убытки?

-- Ой-вай! Опять узлом попрекаете!.. Что я себе там торговал, это мое счастье... Разве вы считали мой барыш? А я вам скажу по правде, что я от вашей торговли взял чистый убыток, а тут, на земле, год потерял..

-- Ах ты, ширлатан! -- крикнул чорт.

-- Я ширлатан? Нет, это вы сами ширлатан, шейгиц, лайдак, паршивец!..

Тут они опять заспорили так шибко, что уже нельзя было разобрать ни слова. Оба махали руками, оба трясли ермолками и поднимались на цыпочки, как два петуха, готовые сцепиться. Наконец чорт спохватился первый:

-- А! Еще не известно, кто выиграл! Что мельник тебя не пожалел, это правда, а остальное еще посмотрим, еще надо у людей спросить, может он и не думал открыть шинок.

"Два открыл! -- почесался опять мельник.-- Э, надо было хоть годик обождать,-- остался бы Янкель в дураках, а то тут что-то такое неладное выходит..."

И он оглянулся на свою мельницу: нельзя ли тихонько, по-за мельницей, махнуть на село? Но в это время в лесу, за плотиной, послышались чьи-то неровные шаги и бормотанье. Янкель схватил на плечи свой узел и бегом побежал к тем же яворам. Мельник едва успел спрятаться за толстую ветлу, как оба -- и чорт, и Янкель -- были уже тут, а в это время в конце плотины показался подсыпка Гаврило. Свитка на Гавриле драная, с одного плеча спущена, шапка набоку, а босые ноги все одна с другой спорят: одной хочется направо, а другая, назло, налево норовит. Одна опять в свою сторону потянет, а другая так бедного подсыпку к себе кинет, что вот-вот голова в одно место улетит, а спина с ногами в другое. Так вот и идет бедный парубок, выписывая по всей плотине узоры, от одного края до другого, а вперед что-то мало подвигается.

Видит чертяка, что подсыпка совсем пьян, вышел себе да и стал посредине плотины в своем собственном виде. Известно, с пьяными людьми какая церемония!

-- Здравствуйте,-- говорит,-- добрый человек! А где это вы так намалевались?..

Тут только мельник в первый раз заметил, какой Гаврило стал за год оборванный и несчастный. А все оттого, что у хозяина заработает, у хозяина и пропьет; денег от мельника давно уже не видал, а все забирал водкой. Подошел подсыпка вплоть к самому чорту, уперся сразу обеими ногами в гать и сказал:

-- Тпру-у-у... Вот бесовые ноги, с норовом каким! Когда надо, не идут, а как увидели, что у человека перед самым носом торчит что-то, тут они и прут себе вперед. А ты это что такое, я что-то не разберу никак...

-- Я себе, с позволения вашего, чорт...

-- Ну-у? Брешешь, я думаю. Э!.. А пожалуй, твоя правда. И рога, и хвост,все как следует. А пейсы по бокам морды зачем?

-- Да я себе, не в обиду вам сказать, жидовский чорт.

-- А!.. Вот видишь ты, какая оказия!.. Так это не ты ли в прошлом годе нашего Янкеля уволок?

-- Ну, ну! Я самый.

-- А теперь же кого? Меня, что ли? То я и закричу, ей-богу закричу... Ты еще не знаешь, какая у меня глотка.

-- Э, не кричи напрасно, добрый человек. На что ты мне сдался?..

-- Может, мельника? Позвать тебе, так я и позову. Э, нет, постой! А кто ж у нас шинковать станет?

-- А у него разве есть шинок? -- У него?.. Нет, у него два; один на селе, а другой при дороге...

-- Ха-ха-ха! Не оттого ли тебе мельника и жалко?

-- Ой! Как ты смеешься здорово... Ха! Не такой я человек, чтобы его пожалеть!.. Нет, не так я сказал!.. Это он не такой человек, чтоб я его пожалел. Он думает, Гаврилко-дурень... Ну, это-таки правда: я себе не очень умный человек, не взыщите вы с меня. А все-таки когда ем, то в чужой рот каши не кладу, а только в свой. И как оженюсь, то опять для себя же. Правду я говорю или нет?

-- Правда оно -- правда, ну, а только я не знаю, к чему она клонит.

-- Хе, может, тебе не надо знать, то ты и не знаешь, а как мне надо знать, то я и знаю, зачем он меня женить хочет. Ой, знаю я хорошо, даром что я не очень догадливый человек. Вот и тот раз, как вы Янкеля схапали, я об нем пожалел: "Кто ж теперь,-- говорю хозяину,-- у нас шинковать будет?" А он и говорит: "Тю, дурень! Разве не найдется кому? А хоть бы и я вот!" Так и теперь: возьмете вы себе мельника,-- найдется у нас кому жидовать и без него... Ну, а я тебе, добрый человек... тьфу, тьфу, не взыщите, ваша милость! Вот же человеком назвал поганого чорта... Теперь я тебе вот что скажу: что-то мне того, что-то спать хочется. Ты себе как хочешь... бери его себе сам, а я пойду лягу, вот что, потому что я маленько нездоров. Вот и будет хорошо... Ага!..

Тут подсыпка опять стал заплетать ногами и насилу отпер двери, как уже повалился и захрапел.

Чорт весело засмеялся и, став на краю плотины, моргнул Янкелю под ясоры:

-- А кажется, твоя правда, Янкель. Что-то выходит похоже... Дай, однако, мне какую одежину на подержание... Я заплачу...

Янкель стал смотреть на свет какие-то шаровары, чтобы ошибкой не дать чорту новых, а в это время за рекой, по дороге из лесу, показалась пара волов. Волы сонно качали головами, телега чуть-чуть поскрипывала колесами, а на телеге лежал мужик Опанас Нескорый, без свитки, без шапки и сапогов, и во все горло орал песни.

Добрый был мужик Опанас, да только, бедняга, очень водку любил. Бывало, только снарядится куда выехать, а уж Харько у шинка сторожит и кличет:

-- Не выпить ли тебе чарочку, Нескорый? Куда торопиться?

Он и выпьет.

Выедет после того за село, через плотину, а там уж, у другого шиночка, сам мельник кличет:

-- А не выпьешь ли чарочку. Нескорый? Куда тебе поспешать?

Он и тут выпьет. Глядишь -- и вернется домой, никуда не ездивши.

Да, добрый был мужик, но, видно, судьба ему судила пропадать промежду двумя шинками... А все-таки человек был веселый и все, бывало, песни поет. Весь, бывало, пропьется, и баба сердитая дома дожидается, а он как песню или прибаутку сложил, так думает, что горе избыл. Так и теперь: лежит себе в телеге и поет во все горло, что даже лягушки с берега кидаются в воду:

Волы мои крутороги

Идут по дороге...

А меня не носят ноги,

Ой, не носят ноги!

Пропил свитку и чоботья,

И шапку с затылка...

А у мельника в шиночке

Хороша горілка...

-- Эй, а какая там бесова тварюка посередь гати стоит, что и волам не пройти? Вот, когда бы не лень было мне сойти с воза, я б тебе показал, как посередь дороги становиться... Цоб, цоб, цоб-бе!

-- Постой на одну минуту, добрый человек,-- сказал чорт сладким голосом.-- Мне бы с тобой потолковать немного...

-- Немного? Ну, толкуй, а то некогда. Пожалуй, в Каменке шинок заперли, так и не достучишься... А что ты скажешь, не знаю, как тебя назвать... Ну?

-- О ком это ты такую хорошую песню пел?

-- Спасибо, что похвалил. Пел я об мельнике, что вот тут на мельнице живет, а что хороша ли песня, или нет, то лучше мне знать, потому что я себе сам пою. Может, кто от той песни скачет, а кто и плачет, вот что... Цоб, цоб, цоб-бе! Да ты все еще стоишь?

-- Стою.

-- Чего ж ты стоишь?

-- В песне твоей говорится, что горелка у мельника хороша?

-- Вот ты какой... хитрый! Человек и песню еще до конца не допел, а он уж придрался к слову. Где у беса хороша!.. Ты, видно, не слыхал поговорки: вперед батька не лезь в пекло, а то опередишь батька и того... нехорошо будет. Когда так, то я лучше тебе до конца спою:

А у мельника в шиночке

Хороша горілка...

Ой, горілки две бутылки,

И... воды бутылка...

Ну, что, все стоишь? Чего ж тебе, когда так, еще надо? Вот я сейчас вылезу-таки с воза, посмотрю, долго ли ты настоишься вот тут, а?.. Что ты себе подумаешь, если я начну тебя угощать батогом?..

-- Сейчас, сейчас уйду, добрый человек. Только скажи еще: а что ты себе подумал бы, когда бы здешнего мельника чорт забрал, как и Янкеля?..

-- А что мне думать? -- ничего и не подумаю... Таки, сказать по правде, и схапает, когда-нибудь, непременно-таки схапает... Э, да ты, вижу, все стоишь... Ну, вылезаю с воза. Гляди, уж и ногу одну поднял...

-- Ну, ну! Поезжай себе, когда ты такой сердитый.

-- Ушел ты?

-- Ушел.

-- Цоб, цоб, цоб-бе.

Опять волы закачали рогами, заскрипели ярма и занозы, воз покатился на другой конец гати, а Опанас запел свою песню:

Волы мои крутороги,

Прибавляйте бегу!

Пропил мельнику колеса,

Пропью и телегу.

Колеса стукнули, съезжая с гати, и песня Опанаса стала затихать на горе.

Не успела еще стихнуть, как послышалась другая, из-за реки. Так и звенели, так и заливались женские голоса, сначала далеко, а там уже и в лесу. Видно, где-нибудь дожинали девчата с молодицами, а может, и отаву на дальнем покосе сгребали, а теперь шли себе позднею дорогой и пели, чтобы не страшно было лесом идти.

Чертяка разом шмыгнул к Янкелю под вербы.

-- А ну, давай же чего-нибудь поскорее!

Янкель ткнул ему какую-то рвань. Чорт кинул ее на землю и ухватился за узел.

-- А! что ты мне даешь, как нищему, что стыдно будет показаться. Давай получше!

Чорт выхватил, что ему было нужно, мигом свернулись у него крылья, мягкие, как у нетопыря, мигом вскочил в широкие, как море, синие штаны, надел все остальное, подтянулся поясом, а

рога покрыл смушковой шапкой. Только хвост высунулся поверх голенища и бегал по песку, как змея...

Вот после этого чмокнул, топнул, подбоченился, посунулся навстречу молодицам,-- ни взять ни дать какой-нибудь добрый мещанин или подпанок из экономов,-- и стал на середине плотины.

А песня все ближе да все звончее,-- уже так и веет по-над землей, да под ясным месяцем, что, кажется, весь свет разбудит середь ночи. Да вдруг и оборвалась сразу...

Сыпнули молодицы из лесу, будто кто маков цвет из передника на землю просыпал,-- увидели на плотине незнакомого щеголя и сбились в кучу у конца гати.

-- А что оно такое вон там стоит? -- спросила одна.

-- Да это мельник,-- говорит другая

-- Какой мельник,-- и не похоже!

-- Может, подсыпка.

-- Где у подсыпки такая одежа?..

-- А отзовись ты, когда ты что доброе,-- крикнула вдова Бучилиха, что, видно, была побойчее других.

Чорт издали поклонился и потом подошел поближе, выкидывая ногами и фигурой выкрутасы, как настоящий подпанок, что хочет казаться паном, и сказал:

-- А не бойтесь, ласточки вы мои! Я себе человек молодой, а зла вам не сделаю. Идите себе спокойно...

Молодицы и девки взошли на гать, поталкивая одна другую, и скоро окружили чорта. Э, не всегда-таки приятно, как окружат человека десяток-другой вот этаких вострух и начнут пронизывать быстрыми очами, да поталкивать одна другую локтем, да посмеиваться. Чорта стало-таки немного коробить да крючить, как бересту на огне, уж и не знает, как ступить, как повернуться. А они все пересмеивают.

"Вот так его, так его, мои ласточки,-- подумал про себя мельник, глядя из-за корявой ветлы.-- Вспомните, галочки мои, как Филиппко с вами, бывало, песни пел да хороводы водил. А теперь вот какая беда: выручайте ж меня, как муху из паутины". Еще, кажется, если бы его так пощипать хоть с минуту,-- провалился бы чертяка сквозь землю...

Но старая Бучилиха остановила девчат:

-- Цур вам, сороки! Совсем парубка засмеяли, что у него и нос опустился книзу, руки-ноги обвисли... А скажи ты нам, небораче [Бедняга (укр.)], кого ты над омутом дожидаешься?

-- Мельника.

-- Приятель ему, видно?

"Чтоб таким приятелям моим всем провалиться сквозь землю!" -- хотел крикнуть Филипп, да голос не пошел из горла, а чертяка отвечает:

-- Не то чтоб большой приятель, а так себе: сосчитаться за старое надо.

-- А давно ты его не видал?

-- Давненько.

-- Ну, так теперь и не узнаешь. Добрый был когда-то парубок, а теперь уж так голову задрал, что и кочергой до носа не достанешь.

-- Ну?

-- То-то... Не правду я говорю, девоньки?

-- А правда, правда, правда! -- застрекотала вся стая.

-- Тю! тише немножко,-- закричал чорт, затыкая уши,-- от лучше скажите, что это с ним подеялось и с каких пор?

-- Ас тех пор, как богачом стал.

-- Да деньги стал раздавать в лихву.

-- Да шинок открыл.

-- Да мужа моего Опанаса с проклятым Харьком так окрутил, что уж мужику и ходу никуда, кроме кабака, не стало.

-- Да и наших мужей и батьков споил всех дочиста.

-- Ой, ой, лихо нам с ним, с проклятым мельником! -- заголосила какая-то и, вместо недавней песни, пошли над рекой вопли да бабьи причитанья.

Поскреб-таки Филипп свой затылок, слушая, как за него заступаются молодицы. А чорт, видно, совсем оправился. Смотрит искоса да потирает руки.

-- Э, это еще что!-- звонко перекричала всех вдова Бучилиха.-- А слыхали вы, что он над Галей над вдовиной задумал?

"Тьфу,-- плюнул мельник.-- Вот сороки проклятые! О чем их не спрашивают, и то им нужно рассказать... И как только узнали? То дело было сегодня на селе, а они уж на покосе все дочиста знают... Ну и бабы, зачем только их бог на свет божий выпускает?.."

-- А что бы такое над вдовиной дочкой мой приятель затеял? -- спросил чорт, глядя по сторонам так, как будто это дело ему не очень даже и любопытно.

И пошли тут сороки выкладывать, и выложили одна перед другой все дочиста!

Чорт помотал головой.

-- Ай-ай-ай! вот это так уж нехорошо! Этого уж, я думаю, никто и от прежнего шинкаря Янкеля не видал.

-- О, да где же такое жиду придумать?

-- Вот еще!

-- Вот, вижу я, мои кралечки, мои зозуленьки, не очень-то вы моего приятеля любите...

-- А пускай же его все черти полюбят, а от нас не дождется...

-- Ой-ой-ой! Вот, видно, не много вы ему добра желаете...

-- Пускай его потрясет трясця (лихорадка)!

-- Пускай лезет в омут за дядьком!

-- Э, пусть и его чертяка схапает, как того Янкеля!.. Все засмеялись.

-- А правда твоя, Олено, потому, что он хуже жида.

-- Жид по крайней мере не ласовал, оставлял хоть девчат в покое, знал свою Сурку. Чорт даже подпрыгнул на месте.

-- Ну, спасибо вам, ласточки мои, за ваше приветливое слово... А не пора ли вам уже идти дальше?

А сам откинул голову, как петух, что хочет закричать на заре погромче, и захохотал, не выдержал. Да загрохотал опять так, что даже вся нечистая сила проснулась на дне речки и пошли над омутом круги. А девки от того смеха шарахнулись так, как стая воробьев, когда в них кинут камнем: будто ветром их сдуло сразу с плотины...

Пошли у мельника по шкуре мурашки, и взглянул он на дорогу к селу: "А как бы это,-- думает себе,-- приударить и мне хорошенько за девками. Когда-то бегал не хуже людей". Да вдруг и отлегло у него от сердца, потому что, видит, опять идет к мельничной гати человек да еще не кто-нибудь, а самый его наймит -- Харько.

"Вот, кусни-ка этого,-- подумал он про себя,-- авось, зубы обломаешь. Это мой человек".

XI

Наймит шел босиком, в красной кумачной рубахе, с фуражкой, без козырька, на затылке, и нес на палке новенькие Опанасовы сапоги, от которых так и разило дегтем по всей плотине.-- "Вот какой скорый! -- подумал мельник,-- уж и взял себе чоботы... Ну, да ничего это. На этого человека я крепко теперь надеюсь".

Увидев на середине плотины незнакомого человека, наймит подумал, что это какой-нибудь волочуга-грабитель хочет отнять у него сапоги. Поэтому он остановился в нескольких шагах от Хапуна и сказал:

-- Вот что: лучше и не подходи,-- не отдам!

-- Что ты, спохватись, добрый человек! Разве я сам без сапог? Погляди: еще лучше твоих.

-- Так что же ты тут вырос ночью, как корявая верба над омутом?

-- А я, видишь ли, хочу тебе задать один вопрос.

-- Чудно! Загадку, что ли? Кто же тебе сказал, что я всякую загадку лучше всех разгадаю?

-- Слыхал-таки от людей.

Солдат поставил сапоги наземь и, вынув кисет, стал набивать себе трубочку. Потом выкресал из кремня огоньку и, раскуривая под носом густое курево, сказал:

-- Ну, теперь вываливай: какие там у тебя загадки?

-- Да не то чтобы загадки, а так... Кто здесь, по-твоему, самый лучший человек?

-- Я!

-- Э, почему так?.. Нет ли кого получше?

-- Да ты спрашиваешь: как по-моему?.. Ну, так я сам себя ни за кого не отдам.

-- Правда твоя. А мельник... какой человек?

-- Мельник?

Солдат выпустил изо рта такой клуб дыма, как белый конский хвост на месячном свете, и искоса поглядел на чорта.

-- А вы не из акцизу?

-- Нет.

-- Может, не при полиции ли где служите... по какой тайности?

-- Да нет же!.. Такой умник, а не умеет отличить простого человека от непростого.

-- Кто это тебе сказал?.. Да я у тебя в костях и то все вижу... А что спросил, так это так себе, на всякий случай. Так ты говоришь: какой человек мельник?

-- Эге!

-- Так себе человек: не высокий, не низкий... из небольших середний.

-- Э, не то ты говоришь!..

-- Не то? А что бы такое еще тебе сказать?.. Может, хочешь знать, где у него бородавка?

-- Ты, я вижу, любишь морочить, а мне некогда. Скажи попросту: хороший мельник человек или плохой?

Солдат опять пустил изо рта целый хвост дыма и сказал:

-- А ты-таки скорый человек, любишь кушать, не разжевавши.

Чорт вылупил глаза, а у мельника от радости запрыгало сердце.

"Вот язык, так язык,-- подумал он.-- Сколько раз я желал, чтобы он у него отсох, а он вот и пригодился,-- смотрите, как чертяку отбреет!.."

-- Любишь кушать не разжевавши, я тебе говорю! -- строго повторил солдат.Так тебе и скажи: хороший человек или нет? Для меня, вот, всякий человек хорош. Я, брат, из всякой печи хлеб едал. Где бы тебе подавиться, а я и не поперхнусь!.. Э, что ты себе думаешь: на дурака напал, что ли?

"Вот так, вот-таки так его,-- сказал про себя мельник и даже подпрыгнул от радости.-- Я не я буду, когда у него чорт через полчаса не станет глупее овцы! Я на крылосе читаю, что никто слова не поймет... так оттого, что скоро. А он вот и тихо говорит, а подя -- пойми, что сказал..."

Действительно, бедный чорт заскреб в голове так сильно, что мало не стянул шапки.

-- Постой-ка, служба,-- сказал он.-- Что-то, видится, мы с вами едем-едем, да не доедем. Не в тот переулок завернули...

-- Не знаю, как ты, а я из всякого переулка выеду. -- Да ведь я у вас спрашиваю: хороший мельник человек или нет, а вы куда меня завезли?

-- А дай же я у тебя спрошу; вода хороша или нет?

-- Вода?.. А чем же плоха?

-- А когда есть квас, тогда от воды отвернешься,-- нехороша?

-- Пожалуй, нехороша.

-- А когда стоит на столе пиво, так тебе и квасу не надо?

-- Вот и это правда.

-- А поднеси чарочку горелки, и на пиво не поглядишь?

-- Так-то оно так...

-- Вот то-то и оно-то!

Чорта ударило в пот, и из-под свитки хвост у него так и забегал по земле, даже пыль поднялась на плотине. А солдат уже вскинул палку с сапогами на плечи, чтоб идти далее, да в это время чертяка догадался, чем его взять. Отошел себе шага на три и говорит:

-- Ну, идите, когда так, своею дорогой. А я тут обожду: не пойдет ли, случаем, солдат Харитон Трегубенко. Солдат остановился.

-- А тебе на что его?

-- Да так!.. Говорили, солдат Трегубенко -- умный человек: может ввести и вывести. Я и подумал, не вы ли это сами будете. А вижу, нет! С вами путаешься кругом, а на дорогу никак не выедешь...

Солдат поставил сапоги наземь.

-- А ну, спроси у меня еще.

-- Э, что тут и спрашивать!

-- А ты попробуй.

-- Ну, вот что. Скажи мне: кто был лучше -- Янкель-шинкарь или мельник?

-- Вот так бы и говорил сразу, а то не люблю таких людей, что подле самого мосту ищут броду. Иному человеку лучше десять верст исколесить проселками, чем одну версту прямою дорогой. Вот и я тебе сейчас все толком, по пунктам, как говорится, скажу: у Янкеля был шинок, а у мельника -- два.

"Э, что-то уж и не так заговорил,-- подумал с горестью мельник.-- Пожалуй, об этом лучше бы и не заговаривать..."

А солдат говорит дальше:

-- У Янкеля я ходил в лаптях, а тут у меня и сапоги выросли...

-- А откуда они выросли?

-- Хе, откуда!.. В нашем деле все так, как в колодце с двумя ведрами: одно полнеет, другое пустеет,-- одно идет кверху, другое книзу. У меня были лапти, стали сапоги. А погляди ты на Онанаса Нескорого: был в сапогах, теперь стал босой, потому что дурень. А к умному ведро приходит полное, уходит пустое... Понял?

Чорт слушал внимательно и сказал:

-- Постой! Кажется, подъезжаем помаленьку, как раз куда надо.

-- То-то! Я про то и сразу тебе говорил! Назови ты мне Янкеля хоть квасом, так мельник будет пиво, а если б ты подал мне доброго вина, то я бы и от пива отступился...

У чорта кончик хвоста так резво забегал по плотине, что даже Харько заметил. Он выпустил клуб дыму прямо чорту в лицо и будто нечаянно прищемил хвост ногою. Чорт подпрыгнул и завизжал, как здоровая собака: оба испугались, у обоих раскрылись глаза, и оба стояли с полминуты, глядя друг на друга и не говоря ни одного слова.

Наконец Харько посвистал по-своему и сказал:

-- Эге-ге-ге-е! Вот штука, так штука...

-- А вы как думали? -- ответил чорт.

-- Вот вы какая птица!

-- А вот, как меня видите...

-- Так это вы, значит, того... в прошлом годе?..

-- Ага!

-- А теперь... за ним?

-- Ну, ну... Что скажете?

Харько затянулся, пыхнул дымом и ответил:

-- Бери! Не заплачу... Я человек бедный, мое дело -- сторона. Сяду себе с люлькой у шинка, буду третьего дожидаться.

Чорт опять загрохотал, а солдат закинул сапоги на спину и пошел скорым шагом. А как проходил мимо купы яворов, то мельник слышал, что он бормочет:

-- Вот оно что: одного унес, за другим прилетел... Ну, моя хата с краю!.. Засватал чорт жида,-- мельнику досталось приданое; теперь сватает мельника, а приданое -- мне. Солдат кому ни служит, ни о ком не тужит. Выручка на руках, пожалуй, можно и самому за дело приняться. Не станет теперь Харька Трегубенка, а будет Харитон Иванович Трегубов. Только уж я не дурак: ночью на плотину меня никакими коврижками не заманишь...

И стал подыматься на гору.

Оглянулся мельник кругом: а кто ж ему теперь поможет? -- нет никого. Дорога потемнела, на болоте заквакала сонная лягушка, в очеретах бухнул сердито бугай... А месяц только краем ока выглядывает из-за леса; "А что теперь будет с мельником Филиппом?.."

Глянул, моргнул и ушел себе за леса...

А на плотине чорт стоит, за бока держится, хохочет. Дрожит от того хохота старая мельница, так что из щелей мучная пыль пылит, в лесу всякая лесная нежить, а в воде водяная -- проснулись, забегали, показывается кто тенью из лесу, кто неясною марой на воде; заходил и омут, закурился-задымился белым туманом, и пошли по нем круги. Глянул мельник -- и обмер: из-под воды смотрит на пего синее лицо с тусклыми, неподвижными глазами и только длинные усы шевелятся, как у водяного таракана. Точь-в-точь дядько Омелько выплывает из омута прямо к яворам...

Жид Янкель давно уже пробрался тихонько на плотину, подняв одежу, которую скинул с себя чорт, и, шмыгнув под яворы, наскоро завязал узел. Не говорит уже ничего об убытках; да скажу вам, тут на всякого человека напала бы робость. Какие уже тут убытки!.. Вскинул узел на плечи и тихонько зашлепал себе по тропинке за мельницей в гору, за другими...

Пустился и мельник на свою мельницу,-- хоть запереться да разбудить подсыпку. Только вышел из-под яворов, а чорт -- к нему. Филипп от него, да за дверь, да в каморку, да поскорее засвечать огни, чтобы не так было страшно, да упал на пол и давай голосить во весь голос,-- подумайте вот! -- совсем так, как жиды в своей школе...

А тот уж летает-вьется над крышей, да в оконце свою любопытную харю сует, да крылом бьет в стекло,-- не знает, куда пробраться, чтобы захватить себе лакомый кусок...

Вдруг -- шасть... Хлопнулось что-то об пол, будто здоровенная кошка упала. Это проклятый в трубу влетел, ударился, подскочил... И слышит мельник -- сидит уже на спине и запускает когти.

Ничего не поделаешь!..

Шасть опять... потемнело в глазах, поволок мельника по темному да тесному месту; посыпалась глина, сажа поднялась тучей и вдруг... Вот уже труба внизу вместе с мельничною крышей, которая становится все меньше и меньше, будто и мельница, и плотина, и яворы, и омут падают куда-то в пропасть... А в тихой мельничной запруде, что лежит внизу гладкая, точно на тарелке, виднеется опрокинутое небо, и звезды мигают себе тихонечко, вот как всегда... И еще видит мельник: в той

синей глубине, перекрывая звезды, летит будто шуляк, потом будто ворона, потом будто воробей, а вот уж как большая муха...

"А это ж он меня выволок так высоко,-- подумал мельник.-- Вот тебе, Филиппко, и доход, и богатство, и шинки, и роскошь. А нет ли там где крещеной души, чтобы крикнула: "Кинь, это мое!"

Нет никого! Прямо под ним спит себе мельница, и только из омута огромная усатая рожа утопшего дядьки Омелька глядит стеклянными глазами и тихо смеется, и моргает усом...

Дальше на гору подымается жид, сгорбившись под тяжелым белым узлом. В половине горы Харько стоит и, покрыв ладонью глаза, смотрит в небо. Э, не подумает он выручать хозяина, потому что вся выручка от шинка остается на его долю.

Вот рассеянная стайка девчат обогнала уже Опанаса Нескорого с его волами. Девчата летят, как сумасшедшие, а Нескорый хоть и глядит прямо в небо, лежа на возу, и хоть душа у него добрая, но глаза его темны от водки, а язык как колода... Некому, некому крикнуть: "Кинь, это мое!"

А вот и село. Вот запертый шинок, спящие хаты, садочки; вот и высокие тополи, и маленькая вдовина избушка. Сидят на завалинке старая Прися с дочкой и плачут обнявшись... А что ж они плачут? Не оттого ли, что завтра их мельник прогонит из родной хаты?

Сжалось у мельника сердце. Э, пусть хоть эти не поминают меня лихом! Собрался с духом и крикнул:

-- А не плачь, Галю, не плачь, небого! Уж прощаю вам все долги с процентами... Ой лихо мне, хуже вашего: волочет меня нечистый, как паук маленькую мушку...

Видно, чутко девичье сердце... Где бы, кажется, услыхать на таком дальнем расстоянии, а Галя все-таки дрогнула и подняла кверху черные, заплаканные очи.

-- Прощайте вы, карие оченята,-- вздыхает мельник да вдруг видит: схватилась девушка руками за грудь, да как наберет воздуху, да как крикнет:

-- Кинь, проклятая чертяка! Кинь, это мое! Точно цепом, с большого размаху, резнуло чорта по ушам: встрепенулся, распустились когти, и понесся Филипп книзу, как перышко, поворачиваясь с боку на бок.

Летит, а чертяка, как камень, за ним. Только долетит и придержит мельника, а Галя опять:

-- Кинь, проклятый,-- мое!

Он и отпустит, а мельник опять полетит, да так до трех раз, а уже внизу и багно (болото), что между селом и мельницей, расстилается все шире да шире.

Тар-рах! Ударился мельник в мягкое багно со всего размаха, так что мочага вся колыхнулась, будто на пружинах, да снова мельника сажени на две кверху и подкинула. Упал опять, схватился на ровные ноги, да бегом лётом, да через спящего подсыпку, да чуть не вышиб с петлями дверей -- и ну под гору во все лопатки чесать босиком... Сам бежит к только вскрикивает,-- все ему кажется, вот-вот чертяка на него налетит.

Добежал до крайней избы, да через тын лётом, да в двери, да стал середь вдовиной избы и тут только опомнился:

-- А вот я и у вас, слава богу!

XII

Вот вы подумайте себе, добрые люди, какую штуку устроил: рано поутру, еще и солнце только что думает всходить и коров еще не выгоняли, а он без шапки, простоволосый, да без сапогов, босой, да весь расхристанный ввалился в избу ко вдове с молодою дочкой! Э, что там еще без шапки: слава богу, что хоть чего другого не потерял по дороге, тогда бы уж навеки бедных баб осрамил!.. Да еще и говорит: "А слава ж богу! Вот я и у вас".

Старуха только руками всплеснула. А Галя соскочила в одной сорочке с лавки да поскорее запаску на себя, да плахту, да к мельнику:

-- Ты что это, злодей, делаешь? Опился, что ли,-- своей хаты не нашел, в нашу вот такой ввалился, а?

А мельник стоит против нее, глядит приятно, хоть и выпучивши маленько глаза, и говорит: "Ну, бей себе, сколько хочешь". Она его -- раз!

-- Бей еще! Она его и два.

-- Вот так. Может, еще дашь?

Она и три. Да тут видит, что ему ничем-ничего, стоит себе и глядит на нее приятным оком, всплеснула руками и заплакала.

-- Ой, лихо мне, бедной сиротинке, кто за меня заступится!.. Ой, и что ж это за человек такой! Мало ему, что обманул меня, молодую, что в турецкую веру хотел сманить, так еще и славу на меня, сироту, навел, на все село осрамил. А теперь вот поглядите на него, добрые люди:

я его уж три раза ударила, а он хоть бы повернулся. Ой, и что ж мне еще с таким человеком делать, научите меня! Я ж и не знаю уже...

А мельник спрашивает:

-- Ну, будешь еще бить или нет, говори прямо? Не будешь, так я уж и на лавку сяду,-- устал.

У Гали опять было заходили руки, да старуха догадалась первая, что тут дело что-то не очень простое, и говорит дочери:

-- Погоди ты, дочка! Что ты, ничего хорошенько не спросивши, так прямо ладонями и плещешь по чужой щеке. Не видишь разве, парубок что-то с глузду съехал (помешался). А скажи, небораче, откуда ты такой сюда ввалился, да еще говоришь: "Слава богу, вот я и у вас!" -- когда тебе тут не надо и быть...

Мельник протер глаза и говорит:

-- Вот, скажите вы мне, тетушка, по совести: что я сплю или я по свету хожу? А со вчерашнего вечера прошла одна ночь или целый год, да я ж теперь к вам со своей мельницы или с неба свалился?

-- Тю! перекрестись ты, человече, левою рукой! И что ты это такое несешь языком, а? Видно, тебе приснилось.

-- Не знаю, пани-матко, не знаю, сам уж ничего не знаю... Сел было на лавку у окна, глядь -- за окном, мимо хаты, по холодочку плетется шинкарь Янкель с огромным узлом на спине. Мельник вскочил на ровные ноги, показывает бабам в окно и говорит:

-- Это кто идет, а?

-- Да это же наш Янкель.

-- А что он несет?

-- Узел из городу.

-- Так как же вы говорите, что мне приснилось? Да ведь вот и жид воротился. Я его сейчас видел у мельницы, с этим самым узлом.

-- А почему же бы ему и не воротиться?

-- Да ведь его в том году чорт уволок -- Хапун. Ну, одним словом сказать, было тут много дива, как стал мельник рассказывать все, что с ним случилось. А между тем против хаты, на улице, уже и народ начал набираться, да заглядывать в окна, да судачить:

-- Вот,-- говорят,-- это штука, так уж штука: мельник простоволосый да расхристанный, без сапогов и без шапки через поле прямо к вдове придрал и сидит теперь в хате.

-- Эй, скажи ты нам, добрый человек, а к кому ты это такой нарядный бегаешь: к старой Присе или, может, к молоденькой Гале?..

Ну, тут, я думаю, сами вы уж догадались, что такую славу на бедную девушку навести напрасно нельзя. Пришлось мельнику жениться. Да и сам Филипп признавался мне не один раз, что Галю вдовину всегда любил, а после той ночи, как побывал в когтях у нечистой силы, да Галя его вызволила,-- такая она ему стала приятная, что уж его бы никто и палкой от нее не мог отогнать.

Живут теперь на мельнице и уж детвору навели. А о шинке мельник больше не думал и процентов не брал. И когда, бывало, при нем станет кто толковать, чтобы спровадить жида Янкеля к чертовой матери из села, он только рукой махнет.

-- А шинок,-- спрашивает у такого человека,-- как вы думаете, останется?

-- А шинок останется,-- куда ж его девать.

-- А кто ж в нем сидеть будет?.. Может, часом, вы не сядете ли?

-- А что ж, пожалуй, и я бы сел... Так он, бывало, только свистнет.

Да, так вот какая история случилась с мельником,-- такая история, что и до сих пор никак не разберешь: было это все или этого вовсе-таки не было. Если сказать -- брехня, так не такой мельник человек, чтобы брехать. Да и подсыпка Гаврило тоже еще живет на мельнице, и хоть сам признается, что здорово был пьян в эту ночь, а все-таки помнит хорошо, как мельник ему сам двери отворил, и еще Гаврило заметил, что у хозяина лицо белее муки. И Янкель пришел на заре, и Опанас приехал домой босой и пьяный... Значит, и присниться все это мельнику -- не приснилось.

Ну, а опять же и то взять: как же оно могло быть, когда для всего этого нужно целый год, а мельник на другое утро уже к Гале прибежал босиком...

Э, лучше уж, я думаю, и не разбирать этого дела. Было оно там или не было, а только вот что я вам от себя уже скажу: может, есть у вас где-нибудь знакомый мельник или хоть не мельник, да такой человек, у которого два шинка... Да еще, может, жидов ругает, а сам обдирает людей, как липку,-- так прочитайте вы тому своему знакомому вот этот рассказ. Уж я вам поручусь, дело пробованное, бросить он, может, своего дела не бросит,-- ну, а вам чарку водки поднесет и хоть на этот раз водой ее не разбавит.

Ну, а есть и такие люди (это тоже дело виданное), что как выслушают эту историю, так и начнут лаяться на тебя, как собаки. Так я таким скажу вот что: лайтесь себе, сколько охота, а только я вам посоветую по правде,-- берегитесь, как бы не случилось чего с вами, как с мельником.

Потому что, видите ли, ново-каменские люди не раз после того видели того самого чертяку: с тех пор как попробовал мельника, уже не хочет вернуться к себе без хорошей добычи... Летает, как отставшая птица, и все высматривает...

Так вот, добрые люди, берегитесь вы немного, как бы не случилось с вами чего недоброго...

А пока что прощайте! Если рассказалось что не так, как бы вам хотелось, не взыщите с меня, простого человека.

1890

Антон Чехов

Справочный материал

*Родился русский писатель **Антон Павлович Чехов** 17 (по новому стилю 29) января 1860 года в городе Таганрог. Отец был купцом третьей гильдии. Мальчик с самого детства старался помогать отцу в лавке, а*

окончив гимназию в 1879 году, переехал в Москву, где и стал студентом Московского университета, поступив на медицинский факультет. По окончанию университета в 1884 году Чехов получил звание уездного врача, и некоторое время применял свои знания на практике.

Литературной деятельностью Чехов стал заниматься в конце 70-х гг. Тогда себя он зарекомендовал как автор коротеньких юмористических рассказов, которые публиковали в журнале «Стрекоза», «Осколки» и многих других. Там он издавался под псевдонимами Человек без селезенки, Чехонте, Антошка и др. К сожалению, сборник «Шалопаи и благодушные», который был уже подготовлен к печати в 1882 году, не увидел свет по цензурным причинам. А в 1884 году была издана первая книга Чехова «Сказки Мельпомены», после которой последовали «Пестрые рассказы» в 1886г.

Свою профессиональную деятельность литератора Чехов начинает как сотрудник журналов «Русская мысль», «Северный вестник» и «Жизнь» в 1885 — 1889 годах. Именно тогда в свет выходят повести и рассказы «Именины», «Степь», «Скучная история», «Приданое». А также сборники «В сумерках», который был отмечен Пушкинской премией, «Рассказы» (1888), «Невинные речи» (1887) и «Хмурые люди» (1890).

Во второй половине 80-х годов Чехов начинает активно работать для театра, пишет пьесы «Свадьба» (1889), «Иванов» (1887), «Леший» (1889) и водевили «Предложение», «Медведь», «Юбилей» и многие другие.

Итогом поездки на остров Сахалин, которую автор осуществил в 1890 году, стала очерково-публицистическая книга «Остров Сахалин» (она была издана в 1895 году). В этом же году Чехов приобретает имение Мелихово, которое находилось в Московской губернии. Там он начинает строительство школы, лечит крестьян, помогает неимущим. Во время эпидемии холеры Чехов работает участковым врачом, участвует в переписи населения 1897 года. После этого за два года создаются самые известные рассказы: трилогия «Человек в футляре», «О любви», «Крыжовник», «Дама с собачкой» и др. А еще через два года появляется повесть «Палата №6», которую считают высшей точкой в развитии чеховского критического реализма.

1893 год считают началом нового этапа творчества Чехова. Тогда писатель создает пьесы «Чайка», «Три сестры» (в 1901 году ее отметили Грибоедовской премией), «Дядя Ваня», «Вишневый сад», которые были поставлены на сцене МХАТа.

Перебраться из Мелихова в Ялту Чехова заставило обострение туберкулеза и смерть отца. Это случилось в 1898 году. Здесь же он построил дом и встречался с М. Горьким, Л. Н. Толстым, А. И. Куприным, И. А. Буниным, И. И. Левитаном. А в 1900 году его избрали почетным академиком Пушкинского отделения академии наук, хотя два года спустя и отказался от этого звания вместе с В. Г. Короленко. Это был некий знак протеста против отмены Николаем II избрания Горького почетным академиком. В 1901 году Антон Чехов женился на актрисе МХАТа О. Л. Книппер. Брак продлился недолго из-за смерти писателя в 1904 году в г. Баденвейлер, Германия. Похоронен в Москве.

Я. В. Абрамов "Наша жизнь в произведениях Чехова"

"Книжки недели", 1898, июнь, сс.130-168.

<...> Во внешнем успехе произведений Чехова сомневаться нельзя. О том же успехе говорит тот общий шум в течение всего 1897 года, когда кроме нескольких мелких рассказов, Чехов напечатал два довольно крупных произведения: "Мужики" и "Моя жизнь". Эти произведения, в особенности первое из них, подняли вокруг имени Чехова настоящую войну, причем одни старались чуть ли не с лица земли стереть нашего автора, а другие превозносили его едва не до небес. Как бы то ни было, несомненно, что на внешний успех своих произведений Чехов не может пожаловаться. Его читают, как редко теперь читают кого-либо из русских авторов, и не только читают, но и много говорят по поводу его произведений. Но чисто внешним успехом дело не ограничивается. По поводу произведений Чехова и в печати, и в обществе высказываются самые разнообразные мнения. Есть немало людей, которые обвиняют Чехова в целом ряде преступлений, как прегрешения против действительности, односторонность, мрачность настроения и многое другое. Но вместе с тем, все - люди самых различных литературных направлений и самых различных художественных школ, с замечательным единодушием признают, что в лице Чехова мы имеем несомненную крупную художественную силу. Что касается собственно публики, то, несомненно, Чехов принадлежит к числу наиболее любимых ею писателей. Из всех современных русских писателей, конечно, один только Лев Толстой пользуется большею популярностью, нежели Чехов. По отношению же ко всем отдельным, действующим у нас в настоящее время беллетристам, Чехов, в смысле популярности среди читателей, представляет собою человека, превышающего несколькими головами окружающую его братию. Но если Чехова читают, если Чехова любят, если его большое художественное дарование - вне всякого сомнения для всех, если, наконец, его произведения заставляют много говорить о себе, то вместе с тем несомненно, что произведения Чехова до сих пор оставляли лишь слабый след в самосознании общества, что Чехов до сих пор имел лишь самое слабое влияние на образование тех или иных господствующих взглядов. Я уже не буду сравнивать его ни с Львом Толстым, оставившим такой неизгладимый отпечаток в миросозерцании русского общества, ни даже с Глебом Успенским или Златовратским, которые оказали такое сильное влияние на формирование целых общественных течений в нашей жизни. Но даже писатель такого, сравнительно скромного дарования, как г. Короленко, несомненно оставляет своими произведениями более определенный след в душах читателей, нежели оставляли до сих пор произведения Чехова. В сущности, при чтении каждого из произведений Чехова читатель взволнуется, много перестрадает, но почти никогда не задумается. Я знаю, что есть критики, которые объясняют указанное явление отсутствием у самого Чехова определенного миросозерцания, или даже более узко - отсутствием в его произведениях определенного "направления". Но такое объяснение прежде всего фактически неверно. <...> На мой взгляд, причина малого влияния произведений Чехова на мировоззрение читателей заключается, с одной стороны, в чрезвычайной глубине этих произведений, в том, что он касается самых основ нашей жизни, а с другой - в его манере мелкого письма, если так можно выразиться, в отрывочности его картин, в вырванности из общих условий жизни его персонажей. Первая причина ведет к тому общему явлению, какое всегда имело место относительно художников, затрагивавших самые коренные основы жизни. Их долго не понимают, и только когда они достаточно выскажутся, их начинают понимать и оценивать. Достаточно указать на двух таких, казалось бы, прямо противоположных писателей, как Ибсен и Золя, которые долго не получали надлежащей оценки, а когда, наконец, были данным образом оценены, то стали рассматриваться именно как глубокие, ни перед чем не останавливающиеся критики самых основ нашей жизни. Чехов в своей литературной карьере тоже уже скоро должен дойти до того положения, при котором его произведения перестанут действовать только на чувство, но будут давать содержание и

мыслям читателя. Признаки этого уже налицо: последние произведения Чехова уже начали вызывать на размышления, и размышления самого глубокого свойства, и притом не только читателей, но - что еще знаменательнее - и гг. критиков. Другою причиною, умалявшею до сих пор значение произведений Чехова, как сказано, является отрывочность его произведений. И действительно, большинство произведений Чехова - небольшие рассказы, часто всего в несколько страничек. Понятно, что на таком пространстве, как бы ни был велик талант автора, он многого сделать не может. Он может восхитить нас, может поразить нас, но заставить много думать над изображаемым явлением художник не в силах. Для того, чтобы произведения Чехова произвели воздействие на склад наших воззрений, для того, чтобы мы взглянули на мир Божий с точки зрения автора, необходимо прочитать подряд если не все, то многие произведения Чехова. Тогда перед нами из этих мелких кусочков сложится целая картина, производящая сильнейшее впечатление и заставляющая работать мысль.

Надо, впрочем, сказать, что в последний период своей писательской деятельности Чехов все реже и реже прибегает к обычной прежде для него манере - писать небольшими клочками - и дает нам более или менее цельные картины, благодаря чему влияние его произведений становится и сильнее, и глубже, и несомненно заставляет читателя думать в желательном автору направлении, рассматривать явления жизни под одинаковым с автором углом. И я думаю, что когда Чехов издаст полное собрание своих произведений <...> это издание произведет громадное впечатление на читающую публику и создаст автору репутацию писателя с очень определенным мировоззрением.

2.

Насколько безосновательны упреки, раздающиеся нередко по адресу Чехова, в том, что он рисует нашу жизнь неверно, односторонне, нарочно будто бы подбирая краски и изображаемые явления, всего лучше видно из сопоставления этих упреков с другими упреками, которые высказываются по адресу того же писателя теми же самыми критиками и которые сводятся к обвинению Чехова в отсутствии у него какого бы то ни было миросозерцания. Таким образом, с одной стороны, Чехова обвиняют в том, что он выбирает из жизни только один определенный ряд явлений и неправильно окрашивает эти явления, что, очевидно, человек, находящийся в здравом уме, может делать только с определенной целью и побуждаемый определенными мотивами, а с другой, Чехов представляется чем-то вроде фотографического аппарата, бесстрастно отражающего все, что ни попадает в поле объектива этого аппарата. Кажется, ясно, что такого рода противоположные упреки прямо уничтожают один другой. Если художник производит над наблюдаемой действительностью переработку в определенном направлении, то уж никак нельзя говорить, что у него нет никакого мировоззрения и он только бесстрастно отражает действительность. Если же верно последнее, если Чехов только фотографирует, тогда теряют всякий смысл обвинения его в односторонности, в подборе явлений и т. п. И раз такие несовместимые упреки раздаются из одних и тех же уст, отсюда следует только, что владетели этих уст просто мало думают о том, о чем они говорят.

Что Чехов отнюдь не фальсифицирует изображаемую им действительность, что он изображает ее не односторонне, что он не подбирает только известного характера явления,

но что вместе с тем у него имеется и определенное, весьма ясное миросозерцание, - в этом не трудно убедиться, прочтя любое из более крупных произведений Чехова. И если читатель не потерял еще чутье жизни, как потеряли его многие из наших присяжных критиков, живущие не настоящею жизнью, полною настоящих, живых впечатлений, а жалкою жизнью человека, знающего только свой кабинет, редакцию и типографию, - он неизбежно поразиться при этом чтении необычайной верностью жизни, действительности изображений Чехова. А вместе с тем, читатель не может не видеть, что, подвергая самой беспощадной критике нашу жизнь, Чехов может делать это только потому, что у него на все явления жизни сложились весьма определенные воззрения, что он предъявляет к жизни весьма определеннные требования, словом, что у Чехова имеется весьма определенное мировоззрение, наверное более определенное, нежели у многих из тех, которые постоянно обвиняют его в недостатке такого мировоззрения.

3.

Когда прошлым летом появился на страницах "Русской Мысли" рассказ Чехова "Мужики", он вызвал целый переполох в нашей печати. Большие и малые критики <...> считали своею обязанностью высказать свое мнение <...> и, надо правду сказать, говорили больше все такой вздор, который лучше было бы говорившим держать про себя. Многие из писавших по поводу рассказа Чехова отнеслись к этому рассказу как к личному оскорблению, и раздражение так и сквозило в каждом их слове. В общем, обвинения, направленные на Чехова из-за "Мужиков", сводились к тому, что он видит в деревенской жизни только одни темные стороны и совсем не хочет знать светлых, причем некоторые ехидно добавляли, что, небось, автор не изображает в таком же безнадежном виде городскую жизнь. Другие, ставшие на сторону Чехова, напротив, ставили ему в заслуги такой "односторонний" взгляд на деревенскую жизнь и тоже приписывали ему тайное желание унизить деревню перед городом. Нашлись и такие умники, которые пришли даже в восторг перед несчастным, выведенным в рассказе ресторанным лакеем Чикильдеевым, в лице которого увидели, ни более, ни менее, как прекрасный образчик продуктов просветительного воздействия города, в противоположность типам темной деревни. Глупости человеческой, как известно, нет предела, и это было лишний раз доказано критиками, разбиравшими одно из лучших произведений Чехова. И вот, как бы для того, чтобы успокоить одних и разочаровать других, Чехов неожиданно для умных критиков, вслед за "Мужиками", напечатал "Мою жизнь", в которой изобразил городскую жизнь вообще и жизнь интеллигентной части городского населения в особенности, такими мрачными красками, перед которыми краски, употребленные для изображения "Мужиков", кажутся даже слишком бледными.

Пишущий эти строки считает возможным сказать, что он не читал ничего, появившегося в нашей оригинальной беллетристике за последние десять лет, что произвело бы на него такое сильное впечатление, как названные два рассказа. Уже "Мужики" кажутся мне настоящим шедевром, но "Моя жизнь" несомненно превосходит значительно "Мужиков", может быть, впрочем, производя более сильное впечатление потому, что в ней речь идет о нас, о той среде, к которой мы принадлежим, о культурных людях. Рассказ называется "Моя жизнь", и лучшего названия для него нельзя и придумать. Действительно, прочитавши рассказ, приходится сказать: "Да, это воистину моя жизнь!" И каждый, кто вынужден будет сказать так по

прочтении рассказа, скажет это не потому, что увидит какое-либо сходство с собою в лице героя рассказа или его судьбы с собственною. Напротив, Чехов как будто нарочно выдумал для своего героя какую-то необыкновенную судьбу, - как бы именно для того, чтобы она не была похожа на судьбу кого бы то ни было из читателей. И тем не менее, едва ли найдутся читатели, конечно, из тех, которые относятся к литературному произведению просто, без отыскивания в них какого-либо таинственного смысла и скрытых целей автора, которые прочитав рассказ Чехова, не увидали бы в нем изображения своей собственной жизни. Дело в том, что в рассказе изображена именно наша общерусская жизнь, переполненная невообразимой чепухой, которая неведомо зачем и для чего отравляет нам жизнь и от которой солоно приходится каждому из нас. И надо отдать честь Чехову, изображена эта чепуха нашей жизни до того беспощадно, с такою выпуклостью, что после прочтения его рассказа просто отчаяние берет. Все в этой жизни так ничтожно и так бессмысленно, что человек, вынужденный жить этою жизнью, и сам превращается в какую-то ходящую бессмыслицу. Это ужасно, но разве это не правдиво? Разве не так обстоит дело в действительности? Примерьте то, что говорит Чехов, к жизни, которая окружает вас и которою вы живете, и если вы - искренний человек, вы никогда не решитесь обвинять Чехова в том, в чем его обвиняют наши умные критики - в какой-то якобы "односторонности".

4.

В самом деле, что это за жизнь, которая изображена в "Моей жизни"? Присмотримся к ней поближе. <...> Разве не то же имеет место в любом из наших городов? Разве не так же плоска архитектура, царящая в них, разве не таково же однообразие домов, и разве дома эти не построены с единственною понятною для них целью - сделать их менее удобными для жилья? И не так же ли устроена и самая жизнь того общества, которое населяет эти дома? <...> Я знаю, что многие негодуют на Чехова <...> и говорят, что все нарисованное им преувеличено. Находятся и такие, которые отвергают вообще правдивость нарисованной картины. Но, господа, будем же искренними! Да разве не такова, на самом деле, с небольшими вариациями, жизнь в наших городах? Возьмем хоть одну черточку - взяточничество. Конечно, нередко утверждают, что взяточничество в настоящее время уже редкость, что оно или исчезло или исчезает. Каюсь, что и я имел наивность когда-то думать, что это так. Но когда я окунулся в омут практической жизни в провинциальном городе, я убедился, что взятка, как и в доброе дореформенное время, царит по-прежнему. Вся разница от прежнего времени состоит в том, что прежде взятка бралась просто, как следуемое берущему, а ныне ее и дают, и берут в большинстве случаев с фокусами, прикрываясь разными штуками, вроде, напр., содержания учителями квартир для учеников, - этого типичнейшего и распространнейшего явления провинциальной жизни. <...>

Чтобы разглядеть хорошенько своих благородных сограждан, герой рассказа, по воле автора, сделался простым рабочим-маляром. Конечно, можно было бы открыть ему глаза и более простым способом, но отчего, в самом деле, не взглянуть на культурную часть общества с точки зрения, на которой волей-неволей должен стоять рабочий человек? <...>

5.

Я понимаю, что читатель мог прийти просто в отчаяние от всех этих проявлений самого страшного, самого безнадежного пессимизма. Чехову именно и ставят в вину его пессимизм. Но не странная ли это "вина"? Как будто Чехов так вот, ни с того, ни с сего, взял да и сделался пессимистом? Как знать, может быть ему самому житья нет от этого "пессимизма"? Может быть, ему в тысячу раз было бы приятнее рисовать светлые картины богатой общественной жизни, давать нам образы могучих людей, раскрывать тайники духовной жизни богато одаренных натур? Но где взять все это, если кругом царит такая повальная пошлость, если все так мелко и ничтожно, если в людях царит самое первобытное, самое бессознательное зверство? Нравы, обычаи, понятия, текущая жизнь - все это всего менее дает материала для блестящих картин, для светлого миросозерцания. Сколько ужасов нужно насмотреться в течение своей жизни, чтобы прийти к такой безнадежной философии, которую высказывает в рассказе мясник Прокофий и которой держится в сущности все изображаемое в "Моей жизни" общество: "Есть губернаторская наука, есть архимандритская наука, есть докторская наука, и для каждого звания есть своя наука. А вы не держитесь своей науки, и этого вам дозволить нельзя." И вот лишь только кто-нибудь в этом обществе выдвинется из рамок свойственной ему "науки", т. е. захочет жить не так, как принято, не по традиции, не по предписаниям других, а за счет собственных разума и совести, как ему тотчас же этого "не дозволяют", - не дозволяют и ближние, и дальние, которым, казалось бы, и дела никакого нет до данного человека и данного случая, но которые считают нужным вступиться в дело в силу стадной солидарности и темного чувства единства интересов всех членов стада. Так изображает дело Чехов, и так оно стоит и в действительности, в чем ни Чехов, ни другой какой "пессимист" нисколько не повинен...

Но скажут, - пусть наша жизнь несовершенна; зачем же, все-таки, изображать ее с такою беспощадностью? Кому это нужно и какая польза может быть от подобных изображений? Это вопросы, которые ставились нередко по адресу многих писателей. Для чего читать произведения таких писателей, как Чехов, раз от них веет такою безнадежностью? Не достаточно ли и тех печальных впечатлений, которые мы получаем непосредственно от жизни, чтобы добавлять к этим впечатлениям еще столь же печальные впечатления от книг? Не ведут ли такие книги, как книги Чехова, к усилению господства пессимистического настроения, которым и без того страдают слишком многие? Напрасное опасение! Еще не было примера, чтобы книга, каким бы пессимистическим характером она ни отличалась, сделала кого-нибудь пессимистом, как и наоборот - никакая книга самого оптимистического характера не сделала еще никого оптимистом. <...> Значение книг, вроде сочинений Чехова, совсем не в том, что они распространяют пессимизм.

Человек - существо мыслящее и сознающее. В этом его отличие от животного и громадное преимущество перед ним. <...> Тот, кто действительно достоин названия человека, никогда не удовлетвориться этим бессознательным, чисто животным счастьем и предпочтет страдание познания этому блаженству невежества. И вот для того, чтобы вывести нас из состояния неведения, из состояния спокойствия, обусловливаемого отсутствием мысли, отсутствием истинного понимания значения явлений жизни, - для того, чтобы пробудить нашу мысль и направить ее работу на рассмотрение и оценку явлений действительной жизни, чтобы заставить нас сознательно относиться к этим явлениям жизни, чтобы побудить нас выработать систему сознательного поведения по отношению к себе, ближним и всему миру, - и нужны такие писатели, как наш Чехов или, напр., французский Мопассан. Раскрывая перед

нами с полной беспощадностью истинное значение явлений жизни, они учат нас сознательному отношению к этим явлениям, они заставляют нас сознательно вырабатывать в себе то или иное миросозерцание, а отсюда, и систему своего нравственного поведения. Вы можете не соглашаться с этими писателями, с их мрачными воззрениями, но для того, чтобы у вас оставалось ваше жизнерадостное настроение, вам необходимо перейти через те аргументы, которые выставляют эти "пессимисты", а для этого вы вынуждены критически разобрать все то, что они говорят, и критически отнестись и к вашему собственному настроению. Будете ли вы пессимистом или оптимистом после внимательного ознакомления с произведениями таких писателей, как Чехов и Мопассан, это зависит от многих причин, но зато, несомненно, вы будете после этого знакомства сознательнее относиться к явлениям жизни, вы будете лучше прежнего знать, почему вам нужно относиться к этим явлениям так, а не иначе, вы будете строить свое поведение по отношению к себе, ближним и миру на более сознательных началах. И в этом пробуждении сознательности, в этом подъеме нас над уровнем бессознательной, чисто животной жизни и заключается великая заслуга таких писателей, которые не боятся отнестись критически ко всему, из чего состоит жизнь человеческая.

6.

Выше мы остановились на содержании одного из последних произведений Чехова "Моя жизнь", чтобы показать, как несостоятельны упреки, делаемые этому писателю, в неверности его изображений, в их односторонности. Несостоятельность этих упреков становится еще более очевидною при ознакомлении с необыкновенным богатством, с поразительным разнообразием содержания произведений Чехова. Какая уж тут односторонность, когда он буквально пересмотрел все области нашей жизни и для всех их дал более или менее обстоятельные, больших или меньших размеров изображения?

Университетские профессора, люди науки и учащиеся студенты, земские врачи и земские деятели, монахи и послушники, помещики и мужики, купцы и купчихи разных формаций, разнообразные представители бродячей Руси, ученые путешественники и железнодорожные инженеры, столичные жители и жители провинциальных городов, население помещичьих усадеб и деревенские люди, всевозможные представители административной власти от губернатора до сельских сотских, педагоги всех рангов, сельское духовенство, офицеры и солдаты, городская голь и фабричные рабочие, миллионеры и нищие, старики и дети, молодые, наивные девушки и измученные жизнью люди, пессимисты и оптимисты, благодушные и озлобленные и т. д., и т. п. - все они нашли себе место в произведениях Чехова. Трудно даже и представить себе такой тип, такое общественное положение, такую коллизию, которые не были бы подмечены Чеховым и не отразились в его книжках. При свойственной ему манере писать маленькие рассказики, в каждой из его книжечек всегда содержится такое обилие материала, которое другому, более рассчетливому писателю, вроде гг. Боборыкина или Потапенко, хватило бы на добрый десяток огромных романов. Чехов собрал с полей российской жизни такой огромный запас наблюдений, какого положительно не имеется ни у одного из наших современных беллетристов. <...>

Дать понятие о богатстве содержания произведений Чехова очень затруднительно, если читатель сам не знаком хоть с некоторыми книжками Чехова. <...> Возьмем для примера хоть книжку "Пестрые рассказы". В книжке этой 41 рассказ, причем содержание их взято из самых разнообразных сфер жизни. <...>

Я перечислил только 13 рассказов из 41, содержащегося в книжке "Пестрые рассказы", но уже и из этого перечня наглядно видно, насколько разнообразно содержание произведений Чехова. Какое богатство содержится в них. А "Пестрые рассказы" - только одна из одиннадцати написанных Чеховым книг.

7.

Богатству внешнего содержания произведений Чехова соответствует и богатство типов, обрисованных им. Смело можно сказать, что решительно все преобладающие в нашей современной жизни типы нашли место в книгах Чехова, изображены им во весь рост и изображены с беспощадною верностью. <...> Я позволю себе остановиться лишь на одном из этих типов, с особенною охотою изображаемом Чеховым и в настоящее время являющемся положительно преобладающим типом нашей жизни. Дело идет о людях, страдающих отсутствием воли. <...> Это тип людей не способных ни к любви, ни к ненависти, ни к настойчивому труду, ни к достижению какой-либо определенной цели. <...> Тип этот имеет место и на Западе, и великолепный образчик этого типа дан Ибсеном в лице приват-доцента истории культуры Тесмана (в "Гедде Габлер"). Но на Западе этот тип или настолько малочисленен, или настолько парализуется противоположным типом людей сильной воли, что он не оказывает никакого заметного воздействия на течение жизни. Иное дело у нас. Обилие этих безвольных людей, при ничтожной численности людей с сильной волей, имеет самое пагубное влияние на ход нашей жизни. В сущности эти люди, лишенные воли, составляют наибольшее препятствие для всякого движения жизни вперед, так как для них страшна всякая, самая ничтожная перемена, и они своею пассивностью поддерживают всегда тех, кто стоит за застой, за сохранение старых, хотя бы и отживших форм жизни.

У Чехова - целая галерея представителей этого типа безвольных людей. Тут есть добрые и злые, умные и глупые, даровитые и бесталанные; но у всех у них одна и та же преобладающая черта - полное отсутствие воли, а отсюда и способности идти своим путем, жить по своему разумению. Русская жизнь так мало благоприятствовала воспитанию в русском человеке силы воли; зато она давала слишком благоприятное условие для развития безволия. И представители этого типа, этого продукта нашей тысячелетней жизни распустились ныне пышным цветком по всему лицу русской жизни. <...>

К какому бы делу такой человек ни приступил, у него не хватает силы воли даже для того, чтобы заставить себя узнать хорошенько это дело, и он уходит от него, увлекаемый уже новыми влияниями, новыми увлечениями, оправдывая себя тем, что дело не стоило труда и что он будто бы в нем разочаровался. Занялся человек наукой, и прежде чем даже ознакомиться с нею, узнать ее цели и ее пределы, он уже бросает ее, увлекаясь чем-то другим и оправдывая себя тем, что будто бы наука только и занимается, что накоплением фактических знаний, а это-де ровно ничего не стоит. И вот человек из фанатика (якобы)

науки делается революционером, потом славянофилом, потом украинофилом, а затем археологом, а там увлекается игрою на балалайке, видя в этом великое дело возрождения "древне-русского песнетворчества", и так далее. Иначе и быть не может с человеком, который живет всегда последними услышанными им чужими словами, действует всегда под последними впечатлениями, всю жизнь живет под чьим-либо чужим влиянием.

На первый взгляд такая фигура только карикатурна и жалка, но в ней, несомненно, кроется великий трагический смысл, когда мы примем во внимание то обстоятельство, что указанная фигура представляет собою еще лучшую разновидность преобладающего в нашем обществе типа. В сущности эта карикатурная фигура повторяет на себе всю историю нашего общества за последние сорок лет. <...> Эти сорок лет нашей общественной жизни характеризуются именно поразительным обилием наших общественных увлечений и разочарований. <...> И все эти увлечения и разочарования, это поклонение новым богам, охватывающее нас эпидемически, и разбивание богов, которым мы поклонялись еще вчера, все эти удивительные явления нашей жизни, чередующиеся чуть ли не с быстротою курьерского поезда, имеют место решительно без всяких серьезных причин. <...> Увлечения распространяются с такою же быстротою и с такою же кажущеюся непричинностью, как вообще распространяются всякого рода психические эпидемии, раз социальная почва для них подготовлена. Иначе и не может быть в обществе, где преобладающий тип - человек без воли, человек, у которого не может быть ни своих мыслей, ни своих чувств, желаний, стремлений.

Чуткость Чехова к жизни наглядно выразилась в том обилии людей без воли, которых он вывел в своих произведениях. Наблюдатель общества, переполненного людьми этого типа, и не мог иначе поступить. Люди этого типа представлены Чеховым в целом ряде разновидностей, как это и есть в действительности. Тут и нытики всех сортов, вечно брюзжащие, всем недовольные, но неспособные ни к какой активной борьбе с тем, чем они недовольны; и зуды-непоседы, губящие и свою жизнь, и жизнь своих ближних, причем в конце концов, и они сами не знают, зачем они все это проделали; и махнувшие на все рукой и покорно идущие туда, куда их ведут более сильные натуры, или просто внешние обстоятельства, сложившийся строй жизни, и т.д. Все эти элементы нашего общества нашли свое место в книгах Чехова и изображены им в самом надлежащем свете. В этом отношении книжки Чехова представляют богатейший материал для изучения современной русской жизни и современных русских людей.

8.

Но неужели, -- спросит читатель, -- Чехов ограничивается только тем, что рисует пред нами отрицательные типы русской жизни, только всю эту мелюзгу, которая хотя в силу своей многочисленности и дает тон жизни, но тем не менее остается мелюзгой? Неужели он не нашел во всей русской жизни ни одного положительного героя? Само собой разумеется, если бы это было так, все упреки, адресуемые Чехову, в "односторонности" и "пессимизме" были бы справедливы. Но Чехов отнюдь не хочет скрывать и того, что есть хорошего в нашей жизни, и вовсе не стесняется представлять нам и положительные типы. Нельзя себе и представить такого общества, такой жизни, в которых не было бы этих положительных типов. Без них и

жизнь была бы невозможна, и общество быстро шло бы к естественной смерти. Но Чехов сохраняет и в данном случае чутье жизни, верность действительности. Эти живые элементы каждого общества, эта соль жизни отнюдь не представляют собою какие-то титанические фигуры. Это самые обыкновенные смертные, отличающиеся от других лишь тем, что в них есть кое-что свое, и это свое им дорого, и они настойчиво проводят его в жизнь. Именно таковыми и являются положительные типы в произведениях Чехова. И таких типов у него так же целая галерея, как и отрицательных. <...>

Пример, на котором я хочу остановиться, - это земский доктор Астров в пьесе "Дядя Ваня". Доктор этот - такой же простой смертный, как и все окружающие. Он также с аппетитом ест, выпивает водочку, огрубел в манерах и выражениях при постоянных поездках по захолустным дорогам, ночевках на "земских" квартирах и вращении среди деревенской толпы; он так же, как и все смертные, может и любить, и ненавидеть, и вообще обладает многими свойственными человеку слабостями. И в положительной своей деятельности он не выделяется из среды многих и многих таких же врачей, работающих при наших невозможных деревенских условиях. Но он не превратил своего живого дела в отбывание тяжелой повинности, не превратился в формалиста, не махнул на все рукой в виду того, что "все равно ничего не поделаешь". И это имеет место несмотря на то, что он смотрит на вещи глубже многих из своих товарищей и видит многое, на что обыкновенно интеллигентные люди, заброшенные в глушь, всего менее склонны смотреть. Он не довольствуется тем, что интересуется только своею специальностью и условиями жизни, имеющими ближайшее отношение к этой специальности. Нет, его интересует вся вообще жизнь родины и в частности того угла, в котором он живет. Он составил карту своего уезда, на которой наглядно показано постепенное вырождение жизни этого уезда.<...> И он не ограничивается тем, что смотрит несколько шире, чем смотрят многие его коллеги, и видит многое и думает над многим, мимо чего спокойно проходят другие уездные интеллигентные люди, видящие в нашем докторе "чудака", который беспокоится тем, что его не касается, - не довольствуется тем, что рисует карту вырождения уезда, но и старается противодействовать ему.

И опять здесь нет ничего титанического, ничего такого, что делало бы нашего доктора "героем". Он развел на тридцати десятинах сад и питомник, каких еще не было в уезде и, кроме того, принял на себя бескорыстно самое тщательное наблюдение за лесами уезда и везде, где только можно, охраняет леса - казенные и крестьянские, а где можно, то и частновладельческие, и разводит новые леса. Многим это кажется чудачеством; но сам-то доктор знает, какую цену имеет это чудачество, какое значение имеет его скромная деятельность, и он не только живет, сознавая, что жизнь его не пройдет бесследно, но и получает редкое высокое личное наслаждение, благодаря своей работе.

Таковы и все положительные типы Чехова. Они не говорят красноречивых речей, не издают блестящих проектов, не ездят в Петербург, чтобы там пожинать лавры в вольно-экономическом обществе; они не мечтают о том, что их деятельность перестроит весь мир. Нет, они работают тихо и спокойно, в своих глухих углах, в большинстве случаев неведомые за пределами этих углов и считаемые и в этих углах чаще только чудаками или неспокойными людьми; но именно ими-то и крепка наша жизнь, именно ими-то и движется она вперед, именно благодаря их малозаметной деятельности и сделаны те культурные завоевания, которые пока сделала наша жизнь. И наша жизнь двинется быстрее вперед лишь тогда, когда эти Астровы будут не редкими единицами, как это имеет место теперь, а сделаются

обычным явлением, неизбежным достоянием каждого, самого захолустного угла, когда на них перестанут смотреть, как на "чудаков", потому что большая часть нашей интеллигенции обратится в таких "чудаков".

9.

Мне остается сказать еще несколько слов о Чехове как о художнике. <...>

Л. Толстой отозвался о Чехове как о таланте, превышающем таланты всех русских писателей, не исключая даже и талант самого Л. Толстого. <...> Конечно, никто из русских читателей не поставит никого из современных писателей выше Л. Толстого, и еще, вероятно, долго нам придется ждать появления писателя, который станет рядом с этим колоссальным талантом. Но что Чехов целою головою выше всех остальных современных русских писателей, с этим нельзя не согласиться. <...> Действительно, эта способность Чехова сказать немногими словами многое, уметь несколькими черточками нарисовать целые фигуры, являющиеся притом пред нами необычайно выпуклыми, словно вылитыми из бронзы просто поразительна.

Возьмите любой маленький рассказик Чехова - и в каждом из них вы поразитесь упомянутою способностью. <...> Возьмем для примера рассказик "Тоска". <...> Весь рассказик уместился на девяти маленьких страничках, а прочитайте его - и у вас сердце похолодеет, и если на ваших глазах не выступят слезы, то разве потому только, что вы уже слишком обтерпелись в жизни и одеревенели. <...> Каким ужасом веет от этого рассказа. Человек, доведенный до того, что он имеет возможность поделиться своим страшным горем только с лошадью - может ли быть что-либо ужаснее этого? <...> И весь этот ужас Чехов сумел представить нам, сосредоточить в маленькой картинке, занимающей всего каких-нибудь девять крохотных страничек. Нужно быть настоящим, крупным талантом, чтобы овладеть этою поразительною способностью сказать так много и так сильно на таком маленьком месте, в столь немногих словах.

10.

Оригинальную особенность таланта Чехова составляет его своеобразный юмор. Как известно, Чехов начал свою литературную карьеру в юмористических журналах. И среди его произведений есть некоторое количество вещиц, проникнутых самым веселым, самым беззаботным юмором, - таких, которые действительно были на месте в юмористических изданиях. Таковы, например, "Мыслитель", "Произведение искусства", "Канитель", "Хирургия", "Винт", "Восклицательный знак", "Шведская спичка" и др. Но и в этих, в сущности, совершенно невинных по сюжету, произведениях уже замечается кое-что большее, нежели невинное вышучивание курьезных явлений.

Вот, например, рассказ "Винт". <...> Как ни забавен этот рассказ, но уже в нем есть нечто и кроме забавного, и читая его, вы непременно задумаетесь над тою пустотою жизни, которая

заставляет людей тратить время и силы на изобретение винта с надворными и действительными статскими советниками и увлекаться этою ерундою до забвения всего. Как ни смешна вся рассказанная Чеховым история, - не только хочется по прочтении ее смеяться, а невольно становится на душе грустно. Этот-то своеобразный юмор, будящий в душе грустные настроения, и является весьма характерною чертою таланта Чехова. Решительно во всех произведениях Чехова звучит юмористическая нотка. О чем бы он ни говорил, как бы серьезно и даже прямо страшно ни было изображаемое им явление, он непременно прибегнет к юмористическим сравнениям, к сопоставлениям, которые невольно вызывают улыбку, но улыбка эта отнюдь не будет веселою.

Этою особенностью своего дарования Чехов близко напоминает Гл. Успенского, в таланте которого также преобладала склонность к юмору и который своими шуточками и разными удивительно веселыми словами достигал, однако, совсем не веселых результатов и заставлял читателя плакать, хотя говорил все время смешные слова. Сходство в данном отношении Чехова и Успенского просто поразительное; но этим, впрочем, сходство между ними и ограничивается, так как и по характеру своего творчества, и по содержанию произведений они стоят очень далеко друг от друга.

11.

В заключение я позволю себе выразить одно свое заветное пожелание по адресу Чехова. Следя за деятельностью этого писателя с первых же дней его выступления на литературное поприще, читая решительно все, что ни выходит из-под пера этого талантливого писателя, я вижу, как растет и мужает талант его. Начавши с маленьких рассказиков, приспособлявшихся, к тому же, к требованиям наших убогих юмористических изданий, Чехов постепенно переходил все к более и более серьезному творчеству. В "Мужиках" и "Моей жизни" он дал нам образцы произведений уже весьма крупных, имеющих огромное общественное значение и отличающихся весьма выдающимися художественными достоинствами. И у меня давно созрело желание видеть Чехова не только в роли изобразителя отдельных явлений нашей жизни, а в роли творца такого произведения, которое представляло бы синтез всех предыдущих его отдельных работ, которое дало бы нам общую картину нашей современной жизни. Пусть не говорят, будто Чехов только и способен создавать маленькие вещицы, только и может рисовать отдельные явления и отдельные стороны нашей жизни. Что он способен к широкой концепции, что его талант в состоянии справиться с большою картиною, в которой отразилась бы вся русская жизнь в ее важнейших проявлениях, - это он, несомненно, доказал своими последними, названными мною выше произведениями, представляющими как бы подготовительную ступень к той крупной работе, о которой я говорю. Чехов не способен написать ни скучной, ни растянутой вещи; он не даст нам произведения, которое преследует главную цель - иметь размер нужного количества листов; он не сумеет и не захочет писать лишь для того, чтобы что-нибудь написать. Как истинный художник, он творит лишь тогда, когда к тому его побуждает внутренняя потребность. Если он не приступил до сих пор к той большой работе, в которой отразилось бы наше время и в которой мы так нуждаемся, только потому, что не чувствует к тому внутреннего побуждения. Нам приходится только ждать

того времени, когда такое побуждение явится, наконец, у нашего художника. Но если у Чехова на пути к такой большой работе, о которой мы говорим и которую, как мы думаем, Чехов мог бы с успехом выполнить, стоит его сомнение в своих силах, то об этом нельзя не печалиться. И если бы наш скромный голос мог ободрить талантливого писателя, если бы наша вера в его силы могла увеличить его собственную веру в себя, и у него от того стало бы несколько меньше сомнений и колебаний в деле приступа к выполнению работы, которую только он один из современных русских писателей и может выполнить, мы были бы глубоко счастливы.[54]

Мужики

I

Лакей при московской гостинице "Славянский Базар", Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и женины, он пролечил, кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и недаром говорится: дома стены помогают.

Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, удобным, теперь же, войдя в избу, он даже испугался: так было темно, тесно и нечисто. Приехавшие с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол-избы, темную от копоти и мух. Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу, возле икон, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги -- это вместо картин. Бедность, бедность! Из взрослых никого не было дома, все жали. На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогач белая кошка.

-- Кис, кис! -- поманила ее Саша. -- Кис!

-- Она у нас не слышит, -- сказала девочка. -- Оглохла.

-- Отчего?

-- Так. Побили.

Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу; молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Их изба была третья с краю и казалась самою бедною, самою старою на вид; вторая -- не лучше, зато у крайней -- железная крыша и занавески на окнах. Эта изба, неогороженная стояла особняком и в ней был трактир. Избы шли в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид.

---

[54] http://allchekhov.ru/theater/history/kritika/abramov.php

За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обрывистый, так что в глине, там и сям, обнажились громадные камни. По скату, около этих камней и ям, вырытых гончарами, вились тропинки, целыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а там внизу расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный, на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами, за нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей, потом так же, как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавою церковью и немного поодаль господский дом.

-- Хорошо у вас здесь! -- сказала Ольга, крестясь на церковь. -- Раздолье, господи!

Как раз в это время ударили ко всенощной (был канун воскресенья). Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон.

-- Об эту пору в "Славянском Базаре" обеды... -- проговорил Николай мечтательно.

Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невыразимо-чистом, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село, с блеяньем и ревом прошло стадо, прилетели с той стороны гуси, -- и все смолкло, тихий свет погас в воздухе и стала быстро надвигаться вечерняя темнота.

Между тем вернулись старики, отец и мать Николая, тощие, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы -- невестки, Марья и Фекла, работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было шестеро детей, у Феклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты, -- двое; и когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на полатях, в люльках и во всех углах, и когда увидел, с какою жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег да еще с семьей, -- напрасно!

-- А где брат Кирьяк? -- спросил он, когда поздоровались.

-- У купца в сторожах живет, -- ответил отец, -- в лесу. Мужик бы ничего, да заливает шибко.

-- Не добычик! -- проговорила старуха слезливо. -- Мужики наши горькие, не в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась царица небесная.

По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить, и разговор был противный -- все о нужде да о болезнях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный пьяный крик:

-- Ма-арья!

-- Похоже, Кирьяк идет, -- сказал старик, -- легок на помине.

Все притихли. И немного погодя, опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из-под земли:

-- Ма-арья!

Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала.

-- А ты чего, холера? -- крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах. -- Небось, не убьет!

От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком и что он, когда бывал пьян, приходил всякий раз за ней и при этом шумел и бил ее без пощады.

-- Ма-арья! -- раздался крик у самой двери.

-- Вступитесь Христа ради, родименькие, -- залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду, -- вступитесь, родименькие...

Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий чернобородый мужик в зимней шапке и оттого, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица, -- страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь.

-- Экой срам-то, срам, -- бормотал старик, полезая на печь, -- при гостях-то! Грех какой!

А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала; Фекла качала люльку... Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее, но в это время вдруг увидел гостей и остановился.

-- А, приехали... -- проговорил он, выпуская жену. -- Родной братец с семейством...

Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные, красные глаза, и продолжал:

-- Братец с семейством приехали в родительский дом... из Москвы, значит. Первопрестольный, значит, град Москва, матерь городов... Извините...

Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка, при общем молчании... Выпил чашек десять, потом склонился на скамью и захрапел.

Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печи со стариком; Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай.

-- И-и, касатка, -- говорила она, ложась на сене рядом с Марьей, -- слезами горю не поможешь! Терпи и все тут. В писании сказано: аще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую... И-и, касатка!

Потом она вполголоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах.

-- А в Москве дома большие, каменные, -- говорила она, -- церквей много-много, сорок сороков, касатка, а в домах всё господа, да такие красивые, да такие приличные!

Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе; она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже "Отче наш". Она и другая невестка, Фекла, которая теперь сидела поодаль и слушала, -- обе были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей; Марья боялась Кирьяка, и когда он оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала, так как от него сильно пахло водкой и табаком. А Фекла, на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой:

-- А ну его!

Поговорили и затихли...

Было прохладно, и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый, утренний свет уже пробивался во все щели, Фекла потихоньку встала и вышла, и потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами.

II

Ольга пошла в церковь и взяла с собою Марью. Когда они спускались по тропинке к лугу, обеим было весело. Ольге нравилось раздолье, а Марья чувствовала в невестке близкого, родного человека. Восходило солнце. Низко над лугом носился сонный ястреб, река была пасмурна, бродил туман кое-где, но по ту сторону на горе уже протянулась полоса света, церковь сияла, и в господском саду неистово кричали грачи.

-- Старик ничего, -- рассказывала Марья, -- а бабка строгая, дерется все. Своего хлеба хватило до масленой, покупаем муку в трактире, -- ну, она серчает; много, говорит, едите.

-- И-и, касатка! Терпи и все тут. Сказано: приидите все труждающие и обремененные.

Ольга говорила степенно, нараспев, и походка у нее была, как у богомолки, быстрая и суетливая. Она каждый день читала евангелие, читала вслух, по-дьячковски, и многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез, и такие слова, как "аще" и "дондеже", она произносила со сладким замиранием сердца. Она верила в бога, в божью матерь, в угодников; верила, что нельзя обижать никого на свете -- ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных; верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она произносила слова из писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым.

-- Ты откуда родом? -- спросила Марья.

-- Я владимирская. А только я взята в Москву уже давно, восьми годочков.

Подошли к реке. На той стороне у самой воды стояла какая-то женщина и раздевалась.

-- Это наша Фекла, -- узнала Марья, -- за реку на барский двор ходила. К приказчикам. Озорная и ругательная -- страсть!

Фекла, чернобровая, с распущенными волосами, молодая еще и крепкая, как девушка, бросилась с берега и застучала по воде ногами, и во все стороны от нее пошли волны.

-- Озорная -- страсть! -- повторила Марья.

Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой, прозрачной воде, ходили стаи широколобых голавлей. На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься! Стоило теперь только оглянуться на деревню, как живо вспомнилось все вчерашнее -- и очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение.

Пришли в церковь. Марья остановилась у входа и не посмела идти дальше. И сесть не посмела, хотя к обедне заблаговестили только в девятом часу. Так и стояла все время.

Когда читали евангелие, народ вдруг задвигался, давая дорогу помещичьей семье; вошли две девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними полный, розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало Ольгу; она с первого взгляда решила, что это -- порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядела на них исподлобья, угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если б она не посторонилась.

А когда дьякон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик: "Ма-арья!" -- и она вздрагивала.

III

В деревне узнали о приезде гостей, и уже после обедни в избу набралось много народа. Пришли и Леонычевы, и Матвеичевы, и Ильичовы узнать про своих родственников, служивших в Москве. Всех жуковских ребят, которые знали грамоте, отвозили в Москву и отдавали там только в официанты и коридорные (как из села, что по ту сторону, отдавали только в булочники), и так повелось давно, еще в крепостное право, когда какой-то Лука Иваныч, жуковский крестьянин, теперь уже легендарный, служивший буфетчиком в одном из московских клубов, принимал к себе на службу только своих земляков, а эти, входя в силу, выписывали своих родственников и определяли их в трактиры и рестораны; и с того времени деревня Жуково иначе уже не называлась у окрестных жителей, как Хамская или Холуевка. Николая отвезли в Москву, когда ему было одиннадцать лет, и определял его на место Иван Макарыч, из семьи Матвеичевых, служивший тогда капельдинером в саду "Эрмитаж". И теперь, обращаясь к Матвеичевым, Николай говорил наставительно:

-- Иван Макарыч -- мой благодетель, и я обязан за него бога молить денно и нощно, так как я через него стал хорошим человеком.

-- Батюшка ты мой, -- проговорила слезливо высокая старуха, сестра Ивана Макарыча, -- и ничего про них, голубчика, не слыхать.

-- Зимой служил он у Омона, а в нынешний сезон, был слух, где-то за городом, в садах... Постарел! Прежде, случалось, летним делом, приносил домой рублей по десять в день, а теперь повсеместно дела стали тихие, мается старичок.

Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо и говорили печально:

-- Не добычик ты, Николай Осипыч, не добычик! Где уж!

И все ласкали Сашу. Ей уже минуло десять лет, но она была мала ростом, очень худа, и на вид ей можно было дать лет семь, не больше. Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими, темными глазами, с красною ленточкой в волосах, казалась забавною, точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу.

-- Она у меня и читать может! -- похвалилась Ольга, нежно глядя на свою дочь. -- Почитай, детка! -- сказала она, доставая из узла евангелие. -- Ты почитай, а православные послушают.

Евангелие было старое, тяжелое, в кожаном переплете, с захватанными краями, и от него запахло так, будто в избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко, нараспев:

-- "Отшедшим же им, се ангел господень... во сне явися Иосифу, глаголя: "востав пойми отроча и матерь его...""

-- Отроча и матерь его, -- повторила Ольга и вся раскраснелась от волнения.

-- "И бежи во Египет... и буди тамо, дондеже реку ти..."

При слове "дондеже" Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча. Старик закашлялся и засуетился, чтобы дать внучке гостинца, но ничего не нашел и только махнул рукой. И когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей.

По случаю праздника семья оставалась весь день дома. Старуха, которую и муж, и невестки, и внуки, все одинаково называли бабкой, старалась все делать сама; сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила наполдень и потом роптала, что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, как бы старик и невестки не сидели без работы. То слышалось ей, что гуси трактирщика идут задами на ее огород, и она выбегала из избы с длинною палкой и потом с полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, как она сама; то ей казалось, что ворона подбирается к цыплятам, и она с бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она от утра до вечера и часто поднимала такой крик, что на улице останавливались прохожие.

Со своим стариком она обращалась не ласково, обзывала его то лежебокой, то холерой. Это был неосновательный, ненадежный мужик, и, быть может, если бы она не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи да разговаривал. Он подолгу рассказывал сыну про каких-то своих врагов, жаловался на обиды, которые он будто бы терпел каждый день от соседей, и было скучно его слушать.

-- Да, -- рассказывал он, взявшись за бока. -- Да... После Воздвижения через неделю продал я сено по тридцать копеек за пуд, добровольно... Да... Хорошо... Только это, значит, везу я утром сено добровольно, никого не трогаю; в недобрый час, гляжу -- выходит из трактира староста Антип Седельников. "Куда везешь, такой-сякой?" -- и меня по уху.

А у Кирьяка мучительно болела голова с похмелья, и ему было стыдно перед братом.

-- Водка-то что делает. Ах, ты, боже мой! -- бормотал он, встряхивая своею больною головой. -- Уж вы, братец и сестрица, простите Христа ради, сам не рад.

По случаю праздника купили в трактире селедку и варили похлебку из селедочной головки. В полдень все сели пить чай и пили его долго, до пота, и, казалось, распухли от чая, и уже после этого стали есть похлебку, все из одного горшка. А селедку бабка спрятала.

Вечером гончар на обрыве жег горшки. Внизу на лугу девушки водили хоровод и пели. Играли на гармонике. И на заречной стороне тоже горела одна печь и пели девушки, и издали это пение казалось стройным и нежным. В трактире и около шумели мужики; они пели пьяными голосами, все врозь, и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила:

-- Ах, батюшки!..

Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и дольше всех бранились старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели.

Миновала полночь, уже потухли печи здесь и на той стороне, а внизу на лугу и в трактире всё еще гуляли. Старик и Кирьяк, пьяные, взявшись за руки, толкая друг друга плечами, подошли к сараю, где лежали Ольга и Марья.

-- Оставь, -- убеждал старик, -- оставь... Она баба смирная... Грех...

-- Ма-арья! -- крикнул Кирьяк.

-- Оставь... Грех... Она баба ничего.

Оба постояли с минуту около сарая и пошли.

-- Лю-эблю я цветы полевы-и! -- запел вдруг старик высоким, пронзительным тенором. -- Лю-эблю по лугам собирать!

Потом сплюнул, нехорошо выбранился и пошел в избу.

IV

Бабка поставила Сашу около своего огорода и приказала ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Был жаркий августовский день. Гуси трактирщика могли пробраться к огороду задами, но они теперь были заняты делом, подбирали овес около трактира, мирно разговаривая, и только гусак поднимал высоко голову, как бы желая посмотреть, не идет ли старуха с палкой; другие гуси могли прийти снизу, но эти теперь паслись далеко за рекой, протянувшись по лугу длинной белой гирляндой. Саша постояла немного, соскучилась и, видя, что гуси не идут, отошла к обрыву.

Там она увидала старшую дочь Марьи, Мотьку, которая стояла неподвижно на громадном камне и глядела на церковь. Марья рожала тринадцать раз, но осталось у нее только шестеро и все -- девочки, ни одного мальчика, и старшей было восемь лет. Мотька, босая, в длинной рубахе,

стояла на припеке, солнце жгло ей прямо в темя, но она не замечала этого и точно окаменела. Саша стала с нею рядом и сказала, глядя на церковь:

-- В церкви бог живет. У людей горят лампы да свечи, а у бога лампадки красненькие, зелененькие, синенькие, как глазочки. Ночью бог ходит по церкви, и с ним пресвятая богородица и Николай-угодничек -- туп, туп, туп... А сторожу страшно, страшно! И-и, касатка, -- добавила она, подражая своей матери. -- А когда будет светопредставление, то все церкви унесутся на небо.

-- С ко-ло-ко-ла-ми? -- спросила Мотька басом, растягивая каждый слог.

-- С колоколами. А когда светопредставление, добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно и неугасимо, касатка. Моей маме и тоже Марье бог скажет: вы никого не обижали и за это идите направо, в рай; а Кирьяку и бабке скажет: а вы идите налево, в огонь. И кто скоромное ел, того тоже в огонь.

Она посмотрела вверх на небо, широко раскрыв глаза, и сказала:

-- Гляди на небо, не мигай, -- ангелов видать. Мотька тоже стала смотреть на небо, и минута прошла в молчании.

-- Видишь? -- спросила Саша.

-- Не видать, -- проговорила Мотька басом.

-- А я вижу. Маленькие ангелочки летают по небу и крылышками -- мельк, мельк, будто комарики.

Мотька подумала немного, глядя в землю, и спросила:

-- Бабка будет гореть?

-- Будет, касатка.

От камня до самого низа шел ровный, отлогий скат, покрытый мягкою зеленою травой, которую хотелось рукой потрогать или полежать на ней. Саша легла и скатилась вниз. Мотька с серьезным, строгим лицом, отдуваясь, тоже легла и скатилась, и при этом у нее рубаха задралась до плеч.

-- Как мне стало смешно! -- сказала Саша в восторге.

Они обе пошли наверх, чтобы скатиться еще раз, но в это время послышался знакомый визгливый голос. О, как это ужасно! Бабка, беззубая, костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, которые развевались по ветру, длинною палкой гнала от огорода гусей и кричала:

-- Всю капусту потолкли, окаянные, чтоб вам переколеть, трижды анафемы, язвы, нет на вас погибели!

Она увидела девочек, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами, сухими и твердыми, как рогульки, стала ее сечь. Саша плакала от боли и страха, а в это время гусак, переваливаясь с ноги на ногу и вытянув шею, подошел к старухе и прошипел что-то, и когда он вернулся к своему стаду, то все гусыни одобрительно приветствовали его: го-го-го! Потом бабка принялась сечь Мотьку, и при этом у Мотьки опять задралась рубаха. Испытывая отчаяние,

громко плача, Саша пошла к избе, чтобы пожаловаться; за нею шла Мотька, которая тоже плакала, но басом, не вытирая слез, и лицо ее было уже так мокро, как будто она обмакнула его в воду.

-- Батюшки мои! -- изумилась Ольга, когда обе они вошли в избу. -- Царица небесная!

Саша начала рассказывать, и в это время с пронзительным криком и с бранью вошла бабка, рассердилась Фекла, и в избе стало шумно.

-- Ничего, ничего! -- утешала Ольга, бледная, расстроенная, гладя Сашу по голове. -- Она -- бабушка, на нее грех сердиться. Ничего, детка.

Николай, который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, который уже ненавидел и презирал бедность, которому было стыдно перед женой и дочерью за своих отца и мать, свесил с печи ноги и проговорил раздраженно, плачущим голосом, обращаясь к матери:

-- Вы не можете ее бить! Вы не имеете никакого полного права ее бить!

-- Ну, околеваешь там на печке, ледащий! -- крикнула на него Фекла со злобой. -- Принесла вас сюда нелегкая, дармоедов!

И Саша, и Мотька, и все девочки, сколько их было, забились на печи в угол, за спиной Николая, и оттуда слушали все это молча, со страхом, и слышно было, как стучали их маленькие сердца. Когда в семье есть больной, который болеет уже давно и безнадежно, то бывают такие тяжкие минуты, когда все близкие робко, тайно, в глубине души желают его смерти; и только одни дети боятся смерти родного человека и при мысли о ней всегда испытывают ужас. И теперь девочки, притаив дыхание, с печальным выражением на лицах, смотрели на Николая и думали о том, что он скоро умрет, и им хотелось плакать и сказать ему что-нибудь ласковое, жалостное.

Он прижимался к Ольге, точно ища у нее защиты, и говорил ей тихо, дрожащим голосом:

-- Оля, милая, не могу я больше тут. Силы моей нет. Ради бога, ради Христа небесного, напиши ты своей сестрице Клавдии Абрамовне, пусть продает и закладывает все, что есть у ней, пусть высылает денег, мы уедем отсюда. О, господи, -- продолжал он с тоской, -- хоть бы одним глазом на Москву взглянуть! Хоть бы она приснилась мне, матушка!

А когда наступил вечер и в избе потемнело, то стало так тоскливо, что трудно было выговорить слово. Сердитая бабка намочила ржаных корок в чашке и сосала их долго, целый час. Марья, подоив корову, принесла ведро с молоком и поставила на скамью; потом бабка переливала из ведра в кувшины, тоже долго, не спеша, видимо довольная, что теперь, в Успеньев пост, никто не станет есть молока и оно все останется цело. И только немножко чуть-чуть, она отлила в блюдечко для ребенка Феклы. Когда она и Марья понесли кувшины на погребицу, Мотька вдруг встрепенулась, сползла с печи и, подойдя к скамье, где стояла деревянная чашка с корками, плеснула в нее молока из блюдечка.

Бабка, вернувшись в избу, принялась опять за свои корки, а Саша и Мотька, сидя на печи, смотрели на нее, и им было приятно, что она оскоромилась и теперь уж наверное пойдет в ад. Они утешились и легли спать, и Саша, засыпая, воображала страшный суд: горела большая печь, вроде гончарной, и нечистый дух с рогами, как у коровы, весь черный, гнал бабку в огонь длинною палкой, как давеча она сама гнала гусей.

V

На Успенье, в одиннадцатом часу вечера, девушки и парни, гулявшие внизу на лугу, вдруг подняли крик и визг и побежали по направлению к деревне; и те, которые сидели наверху, на краю обрыва, в первую минуту никак не могли понять, отчего это.

-- Пожар! Пожар! -- раздался внизу отчаянный крик. -- Горим!

Те, которые сидели наверху, оглянулись, и им представилась страшная, необыкновенная картина. На одной из крайних изб, на соломенной крыше стоял огненный, в сажень вышиною, столб, который клубился и сыпал от себя во все стороны искры, точно фонтан бил. И тотчас же загорелась вся крыша ярким пламенем и послышался треск огня.

Свет луны померк, и уже вся деревня была охвачена красным, дрожащим светом; по земле ходили черные тени, пахло гарью; и те, которые бежали снизу, все запыхались, не могли говорить от дрожи, толкались, падали и, с непривычки к яркому свету, плохо видели и не узнавали друг друга. Было страшно. Особенно было страшно то, что над огнем, в дыму, летали голуби и в трактире, где еще не знали о пожаре, продолжали петь и играть на гармонике, как ни в чем не бывало.

-- Дядя Семен горит! -- крикнул кто-то громким, грубым голосом.

Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожар был далеко, на другом краю; вышел Николай в валенках, повыбегали дети в рубашонках. Около избы десятского забили в чугунную доску. Бем, бем, бем... понеслось по воздуху, и от этого частого, неугомонного звона щемило за сердце и становилось холодно. Старые бабы стояли с образами. Из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, кадки. Вороной жеребец, которого не пускали в табун, так как он лягал и ранил лошадей, пущенный на волю, топоча, со ржаньем, пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами.

Зазвонили и на той стороне, в церкви.

Около горевшей избы было жарко и так светло, что на земле видна была отчетливо каждая травка. На одном из сундуков, которые успели вытащить, сидел Семен, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом на голову глубоко, до ушей, в пиджаке; его жена лежала лицом вниз, в забытьи, и стонала. Какой-то старик лет восьмидесяти, низенький, с большою бородой, похожий на гнома, не здешний, но, очевидно, причастный к пожару, ходил возле, без шапки, с белым узелком в руках; в лысине его отсвечивал огонь. Староста Антип Седельников, смуглый и черноволосый, как цыган, подошел к избе с топором и вышиб окна, одно за другим -- неизвестно для чего, потом стал рубить крыльцо.

-- Бабы, воды! -- кричал он. -- Машину подава-ай! Поворачивайся!

Те самые мужики, которые только что гуляли в трактире, тащили на себе пожарную машину. Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у всех было беспомощное выражение и слезы на глазах.

-- Девки, воды! -- кричал староста, тоже пьяный. -- Поворачивайся, девки!

Бабы и девки бегали вниз, где был ключ, и таскали на гору полные ведра и ушаты и, вылив в машину, опять убегали. Таскали воду и Ольга, и Марья, и Саша, и Мотька. Качали воду бабы и мальчишки, кишка шипела, и староста, направляя ее то в дверь, то в окна, задерживал пальцем струю, отчего она шипела еще резче.

-- Молодец, Антип! -- слышались одобрительные голоса. -- Старайся!

А Антип лез в сени, в огонь и кричал оттуда:

-- Качай! Потрудитесь, православные, по случаю такого несчастного происшествия!

Мужики стояли толпой возле, ничего не делая, и смотрели на огонь. Никто не знал, за что приняться, никто ничего не умел, а кругом были стога хлеба, сено, сараи, кучи сухого хвороста. Стояли тут и Кирьяк, и старик Осип, его отец, оба навеселе. И, как бы желая оправдать свою праздность, старик говорил, обращаясь к бабе, лежащей на земле:

-- Чего, кума, колотиться! Изба заштрафована -- чего тебе!

Семен, обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал, отчего загорелось:

-- Этот самый старичок, с узелком-то, генерала Жукова дворовый... У нашего генерала, царство небесное, в поварах был. Приходит вечером: "пусти, говорит, ночевать"... Ну, выпили по стаканчику, известно... Баба заходилась около самовара -- старичка чаем попоить, да не в добрый час заставила самовар в сенях, огонь из трубы, значит, прямо в крышу, в солому, оно и того. Чуть сами не сгорели. И шапка у старика сгорела, грех такой.

А в чугунную доску били без устали и часто звонили в церкви за рекой. Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то наверх. Ей казалось, что этот звон острою колючкой вошел ей в душу, что пожар никогда не окончится, что потерялась Саша... А когда в избе с шумом рухнул потолок, то от мысли, что теперь сгорит непременно вся деревня, она ослабела и уже не могла таскать воду, а сидела на обрыве, поставив возле себя ведра; рядом и ниже сидели бабы и голосили, как по покойнике.

Но вот с той стороны, из господской усадьбы, приехали на двух подводах приказчики и работники и привезли с собою пожарную машину. Приехал верхом студент в белом кителе нараспашку, очень молодой. Застучали топорами, подставили к горевшему срубу лестницу и полезли по ней сразу пять человек, и впереди всех студент, который был красен и кричал резким, охрипшим голосом и таким тоном, как будто тушение пожаров было для него привычным делом. Разбирали избу по бревнам; растащили хлев, плетень и ближайший стог.

-- Не давайте ломать! -- раздались в толпе строгие голоса. -- Не давай!

Кирьяк направился к избе с решительным видом, как бы желая помешать приезжим ломать, но один из рабочих повернул его назад и ударил по шее. Послышался смех, работник еще раз ударил, Кирьяк упал и на четвереньках пополз назад в толпу.

Пришли с той стороны две красивые девушки в шляпках -- должно быть, сестры студента. Они стояли поодаль и смотрели на пожар. Растасканные бревна уже не горели, но сильно дымили;

студент, работая кишкой, направлял струю то на эти бревна, то на мужиков, то на баб, таскавших воду.

-- Жорж! -- кричали ему девушки укоризненно и с тревогой. -- Жорж!

Пожар кончился. И только когда стали расходиться, заметили, что уже рассвет, что все бледны, немножко смуглы, -- это всегда так кажется в ранние утра, когда на небе гаснут последние звезды. Расходясь, мужики смеялись и подшучивали над поваром генерала Жукова и над шапкой, которая сгорела; им уже хотелось разыграть пожар в шутку и как будто даже было жаль, что пожар так скоро кончился.

-- Вы, барин, хорошо тушили, -- сказала Ольга студенту. -- Вас бы к нам, в Москву: там, почитай, каждый день пожар.

-- А вы разве из Москвы? -- спросила одна из барышень.

-- Точно так. Мой муж служил в "Славянском Базаре"-с. А это моя дочь, -- указала она на Сашу, которая озябла и жалась к ней. -- Тоже московская-с.

Обе барышни сказали что-то по-французски студенту, и тот подал Саше двугривенный. Старик Осип видел это, и на лице у него вдруг засветилась надежда.

-- Благодарить бога, ваше высокоблагородие, ветра не было, -- сказал он, обращаясь к студенту, -- а то бы погорели в одночасье. Ваше высокоблагородие, господа хорошие, -- добавил он конфузливо, тоном ниже, -- заря холодная, погреться бы... на полбутылочки с вашей милости.

Ему ничего не дали, и он, крякнув, поплелся домой. Ольга потом стояла на краю и смотрела, как обе повозки переезжали реку бродом, как по лугу шли господа; их на той стороне ожидал экипаж. А придя в избу, она рассказывала мужу с восхищением:

-- Да такие хорошие! Да такие красивые! А барышни -- как херувимчики.

-- Чтоб их разорвало! -- проговорила сонная Фекла со злобой.

VI

Марья считала себя несчастною и говорила, что ей очень хочется умереть; Фекле же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь: и бедность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ела, что давали, не разбирая; спала, где и на чем придется; помои выливала у самого крыльца: выплеснет с порога да еще пройдется босыми ногами по луже. И она с первого же дня возненавидела Ольгу и Николая именно за то, что им не нравилась эта жизнь.

-- Погляжу, что вы тут будете есть, дворяне московские! -- говорила она с злорадством. -- Погляжу-у!

Однажды утром -- это было уже в начале сентября -- Фекла принесла снизу два ведра воды, розовая от холода, здоровая, красивая; в это время Марья и Ольга сидели за столом и пили чай.

-- Чай да сахар! -- проговорила Фекла насмешливо. -- Барыни какие, -- добавила она, ставя ведра, -- моду себе взяли каждый день чай пить. Гляди-кось, не раздуло бы вас с чаю-то! -- продолжала она, глядя с ненавистью на Ольгу. -- Нагуляла в Москве пухлую морду, толстомясая!

Она замахнулась коромыслом и ударила Ольгу по плечу, так что обе невестки только всплеснули руками и проговорили:

-- Ах, батюшки.

Потом Фекла пошла на реку мыть белье и всю дорогу бранилась так громко, что было слышно в избе.

Прошел день. Наступил длинный осенний вечер. В избе мотали шелк; мотали все, кроме Феклы: она ушла за реку. Шелк брали с ближней фабрики, и вся семья вырабатывала на нем немного -- копеек двадцать в неделю.

-- При господах лучше было, -- говорил старик, мотая шелк. -- И работаешь, и ешь, и спишь, все своим чередом. В обед щи тебе и каша, в ужин тоже щи и каша. Огурцов и капусты было вволю: ешь добровольно, сколько душа хочет. И строгости было больше. Всякий себя помнил.

Светила только одна лампочка, которая горела тускло и дымила. Когда кто-нибудь заслонял лампочку и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет. Старик Осип рассказывал, не спеша, про то, как жили до воли, как в этих самых местах, где теперь живется так скучно и бедно, охотились с гончими, с борзыми, с псковичами, и во время облав мужиков поили водкой, как в Москву ходили целые обозы с битою птицей для молодых господ, как злых наказывали розгами или ссылали в тверскую вотчину, а добрых награждали. И бабка тоже рассказала кое-что. Она все помнила, решительно все. Она рассказала про свою госпожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой муж был кутила и развратник и у которой все дочери повыходили замуж бог знает как: одна вышла за пьяницу, другая -- за мещанина, третью -- увезли тайно (сама бабка, которая была тогда девушкой, помогала увозить), и все они скоро умерли с горя, как и их мать. И вспомнив об этом, бабка даже всплакнула.

Вдруг кто-то постучал в дверь, и все вздрогнули.

-- Дядя Осип, пусти ночевать!

Вошел маленький лысый старичок, повар генерала Жукова, тот самый, у которого сгорела шапка. Он присел, послушал и тоже стал вспоминать и рассказывать разные истории. Николай, сидя на печи, свесив ноги, слушал и спрашивал все о кушаньях, какие готовили при господах. Говорили о битках, котлетах, разных супах, соусах, и повар, который тоже все хорошо помнил, называл кушанья, каких нет теперь; было, например, кушанье, которое приготовлялось из бычьих глаз и называлось "по утру проснувшись".

-- А котлеты марешаль тогда делали? -- спросил Николай.

-- Нет.

Николай укоризненно покачал головой и сказал:

-- Эх вы, горе-повара!

Девочки, сидя и лежа на печи, глядели вниз, не мигая; казалось, что их было очень много -- точно херувимы в облаках. Рассказы им нравились; они вздыхали, вздрагивали и бледнели то от восторга, то от страха, а бабку, которая рассказывала интереснее всех, они слушали не дыша, боясь пошевельнуться.

Ложились спать молча; и старики, потревоженные рассказами, взволнованные, думали о том, как хороша молодость, после которой, какая бы она ни была, остается в воспоминаниях одно только живое, радостное, трогательное, и как страшна, холодна эта смерть, которая не за горами, -- лучше о ней и не думать! Лампочка потухла. И потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминали почему-то только о том, что жизнь уже прошла, что не вернешь ее никак... Вздремнешь, забудешься, и вдруг кто-то трогает за плечо, дует в щеку -- и сна нет, тело такое, точно отлежал его, и лезут в голову все мысли о смерти; повернулся на другой бок -- о смерти уже забыл, но в голове бродят давние, скучные, нудные мысли о нужде, о кормах, о том, что мука вздорожала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже прошла, не вернешь ее...

-- О, господи! -- вздохнул повар.

Кто-то тихо-тихо постучал в окошко. Должно быть, Фекла вернулась. Ольга встала и, зевая, шепча молитву, отперла дверь, потом в сенях вынула засов. Но никто не входил, только с улицы повеяло холодом и стало вдруг светло от луны. В открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу.

-- Кто тут? -- окликнула Ольга.

-- Я, -- послышался ответ. -- Это я.

Около двери, прижавшись к стене, стояла Фекла, совершенно нагая. Она дрожала от холода, стучала зубами и при ярком свете луны казалась очень бледною, красивою и странною. Тени на ней и блеск луны на коже как-то резко бросались в глаза, и особенно отчетливо обозначались ее темные брови и молодая, крепкая грудь.

-- На той стороне озорники раздели, пустили так... -- проговорила она. -- Домой без одежи шла... в чем мать родила. Принеси одеться.

-- Да ты в избу иди! -- тихо сказала Ольга, тоже начиная дрожать.

-- Старики бы не увидали.

В самом деле, бабка уже беспокоилась и ворчала, и старик спрашивал: "Кто там?" Ольга принесла свою рубаху и юбку, одела Феклу, и потом обе тихо, стараясь не стучать дверями, вошли в избу.

-- Это ты, гладкая? -- сердито проворчала бабка, догадавшись, кто это. -- У, чтоб тебя, полунощница... нет на тебя погибели!

-- Ничего, ничего, -- шептала Ольга, кутая Феклу, -- ничего касатка.

Опять стало тихо. В избе всегда плохо спали; каждому мешало спать что-нибудь неотвязчивое, назойливое: старику -- боль в спине, бабке -- заботы и злость, Марье -- страх, детям -- чесотка и

голод. И теперь тоже сон был тревожный: поворачивались с боку на бок, бредили, вставали напиться.

Фекла вдруг заревела громко, грубым голосом, но тотчас же сдержала себя и изредка всхлипывала, все тише и глуше, пока не смолкла. Временами с той стороны, из-за реки, доносился бой часов; но часы били как-то странно: пробили пять, потом три.

-- О, господи! -- вздыхал повар.

Глядя на окна, трудно было понять: все ли еще светит луна или это уже рассвет. Марья поднялась и вышла, и слышно было, как она на дворе доила корову и говорила: "Сто-ой!" Вышла и бабка. Было еще темно в избе, но уже стали видны все предметы.

Николай, который не спал всю ночь, слез с печи. Он достал из зеленого сундучка свой фрак, надел его и, подойдя к окну, погладил рукава, подержался за фалдочки -- и улыбнулся. Потом осторожно снял фрак, спрятал в сундук и опять лег.

Марья вернулась и стала топить печь. Она, по-видимому, еще не совсем очнулась от сна и теперь просыпалась на ходу. Ей, вероятно, приснилось что-нибудь или пришли на память вчерашние рассказы, так как она сладко потянулась перед печью и сказала:

-- Нет, воля лучше!

VII

Приехал барин -- так в деревне называли станового пристава. О том, когда и зачем он приедет, было известно за неделю. В Жукове было только сорок дворов, но недоимки, казенной и земской, накопилось больше двух тысяч.

Становой остановился в трактире; он "выкушал" тут два стакана чаю и потом отправился пешком в избу старосты, около которой уже поджидала толпа недоимщиков. Староста Антип Седельников, несмотря на молодость, -- ему было только 30 лет с небольшим, -- был строг и всегда держал сторону начальства, хотя сам был беден и платил подати неисправно. Видимо, его забавляло, что он -- староста, и нравилось сознание власти, которую он иначе не умел проявлять, как строгостью. На сходе его боялись и слушались; случалось, на улице или около трактира он вдруг налетал на пьяного, связывал ему руки назад и сажал в арестантскую; раз даже посадил в арестантскую бабку за то, что она, придя на сход вместо Осипа, стала браниться, и продержал ее там целые сутки. В городе он не живал и книг никогда не читал, но откуда-то набрался разных умных слов и любил употреблять их в разговоре, и за это его уважали, хотя и не всегда понимали.

Когда Осип со своею оброчною книжкой вошел в избу старосты, становой, худощавый старик с длинными седыми бакенами, в серой тужурке, сидел за столом в переднем углу и что-то записывал. В избе было чисто, все стены пестрели от картин, вырезанных из журналов, и на самом видном месте около икон висел портрет Баттенберга, бывшего болгарского князя. Возле стола, скрестив руки, стоял Антип Седельников.

-- За им, ваше высокоблагородие, 119 рублей -- сказал он, когда очередь дошла до Осипа. -- Перед Святой как дал рубль, так с того время ни копейки.

Пристав поднял глаза на Осипа и спросил:

-- Почему же это, братец?

-- Явите божескую милость, ваше высокоблагородие, -- начал Осип, волнуясь, -- дозвольте сказать, летошний год люторецкий барин: "Осип, говорит, продай сено... Ты, говорит, продай". Отчего ж? Было у меня пудов сто для продажи, на лоску бабы накосили... Ну, сторговались... Все хорошо, добровольно...

Он жаловался на старосту и то и дело оборачивался к мужикам, как бы приглашая их в свидетели; лицо у него покраснело и вспотело, и глаза стали острые, злые.

-- Я не понимаю, зачем ты это все говоришь, -- сказал пристав. -- Я спрашиваю тебе... я тебе спрашиваю, отчего ты не платишь недоимку? Вы все не платите, а я за вас отвечай?

-- Мочи моей нету!

-- Слова эти без последствия, ваше высокоблагородие, -- сказал староста. -- Действительно, Чикильдеевы недостаточного класса, но извольте спросить у прочих, причина вся -- водка, и озорники очень. Без всякого понимания.

Пристав записал что-то и сказал Осипу покойно, ровным тоном, точно просил воды:

-- Пошел вон.

Скоро он уехал; и когда он садился в свой дешевый тарантас и кашлял, то даже по выражению его длинной худой спины видно было, что он уже не помнил ни об Осипе, ни о старосте, ни о жуковских недоимках, а думал о чем-то своем собственном. Но успел он отъехать и одну версту, как Антип Седельников уже выносил из избы Чикильдеевых самовар, а за ним шла бабка и кричала визгливо, напрягая грудь:

-- Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!

Он шел быстро, делая широкие шаги, а та гналась за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая; платок у нее сполз на плечи, седые, с зеленоватым отливом волосы развевались по ветру. Она вдруг остановилась и, как настоящая бунтовщица, стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, певучим голосом, и как бы рыдая:

-- Православные, кто в бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, вступитеся!

-- Бабка, бабка, -- сказал строго староста, -- имей рассудок в своей голове!

Без самовара в избе Чикильдеевых стало совсем скучно. Было что-то унизительное в этом лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли ее честь. Лучше бы уж староста взял и унес стол, все скамьи, все горшки -- не так бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала, и девочки, глядя на нее, тоже плакали. Старик, чувствуя себя виноватым, сидел в углу понуро и молчал. И Николай молчал. Бабка любила и жалела его, но теперь забыла жалость, набросилась на него вдруг с бранью, с попреками, тыча ему кулаками под самое лицо. Она кричала, что это он виноват

во всем; в самом деле, почему он присылал так мало, когда сам же в письмах хвалился, что добывал в "Славянском Базаре" по 50 рублей в месяц? Зачем он сюда приехал, да еще с семьей? Если умрет, то на какие деньги его хоронить?.. И было жалко смотреть на Николая, Ольгу и Сашу.

Старик крякнул, взял шапку и пошел к старосте. Уже темнело. Антип Седельников паял что-то около печи, надувая щеки; было угарно. Дети его, тощие, неумытые, не лучше чикильдеевских, возились на полу; некрасивая, весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была несчастная, убогая семья, и только один Антип выглядел молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло пять самоваров. Старик помолился на Баттенберга и сказал:

-- Антип, яви божескую милость, отдай самовар! Христа ради!

-- Принеси три рубля, тогда и получишь.

-- Мочи моей нету!

Антип надувал щеки, огонь гудел и шипел, отсвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал, подумав:

-- Отдай!

Смуглый староста казался уже совсем черным и походил на колдуна; он обернулся к Осипу и проговорил сурово и быстро:

-- От земского начальника все зависящее. В административном заседании двадцать шестого числа можешь заявить повод к своему неудовольствию словесно или на бумаге.

Осип ничего не понял, но удовлетворился этим и пошел домой.

Дней через десять опять приезжал становой, побыл с час и уехал. В те дни погода стояла ветреная, холодная; река давно уже замерзла, а снега все не было, и люди замучились без дороги. Как-то в праздник перед вечером соседи зашли к Осипу посидеть, потолковать. Говорили в темноте, так как работать было грех и огня не зажигали. Были кое-какие новости, довольно неприятные. Так, в двух-трех домах забрали за недоимку кур и отправили в волостное правление, и там они поколели, так как их никто не кормил; забрали овец и, пока везли их, связанных, перекладывая в каждой деревне на новые подводы, одна издохла. И теперь решали вопрос: кто виноват?

-- Земство! -- говорил Осип. -- Кто ж!

-- Известно, земство.

Земство обвиняли во всем -- и в недоимках, и в притеснениях, и в неурожаях, хотя ни один не знал, что значит земство. И это пошло с тех пор, как богатые мужики, имеющие свои фабрики, лавки и постоялые дворы, побывали в земских гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бранить земство.

Поговорили о том, что бог не дает снега: возить дрова надо, а по кочкам ни ездить, ни ходить. Прежде, лет 15 -- 20 назад и ранее, разговоры в Жукове были гораздо интереснее. Тогда у каждого старика был такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал; говорили о грамоте с золотою печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то;

теперь же у жуковцев не было никаких тайн, вся их жизнь была как на ладони, у всех на виду, и могли они говорить только о нужде и кормах, о том, что нет снега...

Помолчали. И опять вспомнили про кур и овец, и стали решать, кто виноват.

-- Земство! -- проговорил уныло Осип. -- Кто ж!

VIII

Приходская церковь была в шести верстах, в Косогорове, и в ней бывали только по нужде, когда нужно было крестить, венчаться или отпевать; молиться же ходили за реку. В праздники, в хорошую погоду, девушки наряжались и уходили толпой к обедне, и было весело смотреть, как они в своих красных, желтых и зеленых платьях шли через луг; в дурную же погоду все сидели дома. Говели в приходе. С тех, кто в Великом посту не успевал отговеться, батюшка на Святой, обходя с крестом избы, брал по 15 копеек.

Старик не верил в бога, потому что почти никогда не думал о нем; он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб, и когда говорили при нем о религии или чудесном и задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил нехотя, почесываясь:

-- А кто ж его знает!

Бабка верила, но как-то тускло; все перемешалось в ее памяти, и едва она начинала думать о грехах, о смерти, о спасении души, как нужда и заботы перехватывали ее мысль, и она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образами и шептала:

-- Казанской божьей матери, Смоленской божьей матери, Троеручицы божьей матери...

Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же: мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше "вы".

Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны в соседние села и в уездный город, в котором было два монастыря и двадцать семь церквей. Она была рассеянна и, пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью и только, когда возвращалась домой, делала вдруг радостное открытие, что у нее есть муж и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сияя:

-- Бог милости прислал!

То, что происходило в деревне, казалось ей отвратительным и мучило ее. На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвиженье пили. На Покров в Жукове был приходский праздник, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чикильдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером, ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть. Кирьяк все три дня был

страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно.

Впрочем, и в Жукове, в этой Холуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду, из деревни в деревню, носили Живоносную. В тот день, когда ее ожидали в Жукове, было тихо и пасмурно. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка... И старик, и бабка, и Кирьяк -- все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:

-- Заступница, матушка! Заступница!

Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от страшной водки.

-- Заступница, матушка! -- рыдала Марья. -- Матушка!

Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять послышались из трактира грубые, пьяные голоса.

Смерти боялись только богатые мужики, которые чем больше богатели, тем меньше верили в бога и в спасение души, и лишь из страха перед концом земным, на всякий случай, ставили свечи и служили молебны. Мужики же победнее не боялись смерти. Старику и бабке говорили прямо в глаза, что они зажились, что им умирать пора, и они ничего. Не стеснялись говорить в присутствии Николая Фекле, что когда Николай умрет, то ее мужу, Денису, выйдет льгота -- вернут со службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети.

Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом. Довольно было пустяка -- расстройства желудка, легкого озноба, как бабка уже ложилась на печь, куталась и начинала стонать громко и непрерывно: "Умира-а-ю!" Старик спешил за священником, и бабку приобщали и соборовали. Очень часто говорили о простуде, о глистах, о желваках, которые ходят в животе и подкатывают к сердцу. Больше всего боялись простуды и потому даже летом одевались тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где говорила, что ей не 70, а 58 лет; она полагала, что если доктор узнает ее настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей впору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою двух-трех девочек, и возвращалась вечером, голодная и сердитая, -- с каплями для себя и с мазями для девочек. Раз возила она и Николая, который потом недели две принимал капли и говорил, что ему стало легче.

Бабка знала всех докторов, фельдшеров и знахарей на тридцать верст кругом, и ни один ей не нравился. На Покров, когда священник обходил с крестом избы, дьячок сказал ей, что в городе около острога живет старичок, бывший военный фельдшер, который лечит очень хорошо, и посоветовал ей обратиться к нему. Бабка послушалась. Когда выпал первый снег, она съездила в город и привезла старичка, бородатого, длиннополого выкреста, у которого все лицо было покрыто синими жилками. Как раз в это время в избе работали поденщики: старик портной в страшных очках кроил из лохмотьев жилетку, и два молодых парня валяли из шерсти валенки; Кирьяк, которого уволили за пьянство и который жил теперь дома, сидел рядом с портным и

починял хомут. И в избе было тесно, душно и смрадно. Выкрест осмотрел Николая и сказал, что необходимо поставить банки.

Он ставил банки, а старик портной, Кирьяк и девочки стояли и смотрели, и им казалось, что они видят, как из Николая выходит болезнь. И Николай тоже смотрел, как банки, присосавшись к груди, мало-помалу наполнялись темною кровью, и чувствовал, что из него в самом деле как будто что-то выходит, и улыбался от удовольствия.

-- Оно хорошо, -- говорил портной. -- Дай бог, чтоб на пользу.

Выкрест поставил двенадцать банок и потом еще двенадцать, напился чаю и уехал. Николай стал дрожать; лицо у него осунулось и, как говорили бабы, сжалось в кулачок; пальцы посинели. Он кутался и в одеяло, и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал; просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер.

IX

О, какая суровая, какая длинная зима!

Уже с Рождества не было своего хлеба и муку покупали. Кирьяк, живший теперь дома, шумел по вечерам, наводя ужас на всех, а по утрам мучился от головной боли и стыда, и на него было жалко смотреть. В хлеву день и ночь раздавалось мычанье голодной коровы, надрывавшее душу у бабки и Марьи. И, как нарочно, морозы все время стояли трескучие, навалило высокие сугробы; и зима затянулась: на Благовещение задувала настоящая зимняя вьюга, а на Святой шел снег.

Но, как бы ни было, зима кончилась. В начале апреля стояли теплые дни и морозные ночи, зима не уступала, но один теплый денек пересилил наконец -- и потекли ручьи, запели птицы. Весь луг и кусты около реки утонули в вешних водах, и между Жуковым и тою стороной все пространство сплошь было уже занято громадным заливом, на котором там и сям вспархивали стаями дикие утки. Весенний закат, пламенный, с пышными облаками, каждый вечер давал что-нибудь необыкновенное, новое, невероятное, именно то самое, чему не веришь потом, когда эти же краски и эти же облака видишь на картине.

Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собою. Стоя на краю обрыва, Ольга подолгу смотрела на разлив, на солнце, на светлую, точно помолодевшую церковь, и слезы текли у нее и дыхание захватывало оттого, что страстно хотелось уйти куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть на край света. А уж было решено, что она пойдет опять в Москву, в горничные, и с нею отправится Кирьяк наниматься в дворники или куда-нибудь. Ах, скорее бы уйти!

Когда подсохло и стало тепло, собрались в путь. Ольга и Саша, с потомками на спинах, обе в лаптях, вышли чуть свет; вышла и Марья, чтобы проводить их. Кирьяк был нездоров, задержался дома еще на неделю. Ольга в последний раз помолилась на церковь, думая о своем муже, и не заплакала, только лицо у нее поморщилось и стало некрасивым, как у старухи. За зиму она похудела, подурнела, немного поседела, и уже вместо прежней миловидности и приятной улыбки на лице у нее было покорное, печальное выражение пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное в ее взгляде, точно она не слышала. Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками. Она вспоминала о том, как несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду

и как все плакали, сочувствуя ее горю. В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, нечестны, нетрезвы и сами бранятся так же отвратительно; самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит "ты" и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать? Ольга вспомнила, какой жалкий, приниженный вид был у стариков, когда зимою водили Кирьяка наказывать розгами... И теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы.

Проводив версты три, Марья простилась, потом стала на колени и заголосила, припадая лицом к земле:

-- Опять я одна осталася, бедная моя головушка, бедная-несчастная...

И долго она так голосила, и долго еще Ольге и Саше видно было, как она, стоя на коленях, все кланялась кому-то в сторону, обхватив руками голову, и над ней летали грачи.

Солнце поднялось высоко, стало жарко. Жуково осталось далеко позади. Идти было в охотку, Ольга и Саша скоро забыли и про деревню, и про Марью, им было весело, и все развлекало их. То курган, то ряд телеграфных столбов, которые друг за другом идут неизвестно куда, исчезая на горизонте, и проволоки гудят таинственно; то виден вдали хуторок, весь в зелени, потягивает от него влагой и коноплей, и кажется почему-то, что там живут счастливые люди; то лошадиный скелет, одиноко белеющий в поле. А жаворонки заливаются неугомонно, перекликаются перепела; и дергач кричит так, будто в самом деле кто-то дергает за старую железную скобу.

В полдень Ольга и Саша пришли в большое село. Тут на широкой улице встретился им повар генерала Жукова, старичок. Ему было жарко, и потная, красная лысина его сияла на солнце. Он и Ольга не узнали друг друга, потом оглянулись в одно время, узнали и, не сказав ни слова, пошли дальше каждый своею дорогой. Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новее, перед открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:

-- Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой.

-- Православные христиане, -- запела Саша, -- подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное...

А. П. Чехов

Учитель словесности

Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати томах. Том восьмой (1892 -- 1894). -- М.: Наука, 1985.

I

Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку. Всё это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал Великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше:

-- Ну, Мария Годфруа, иди садись. Опля!

Маша Шелестова была самой младшей в семье; ей было уже 18 лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой и потому все звали ее Маней и Манюсей; а после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Годфруа.

-- Опля! -- крикнула она, садясь на Великана.

Сестра ее Варя села на Майку, Никитин -- на Графа Нулина, офицеры -- на своих лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрея белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора.

Никитин заметил, что, когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и Графа Нулина и говорила:

-- Вы, Сергей Васильич, держите его всё время на мундштуке. Не давайте ему пугаться. Он притворяется.

И оттого ли, что ее Великан был в большой дружбе с Графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала всё время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была, глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал:

"Даю себе честное слово, клянусь богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней..."

Был седьмой час вечера -- время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам, гимназисты кланялись Никитину; и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, -- тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!

Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено, только кое-где чернеют бахчи да далеко влево на кладбище белеет полоса отцветающих яблонь.

Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад.

-- У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю, -- говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей. -- Но она бракованная. Совсем уж некстати это белое пятно на левой ноге и, поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь, так и будет закидывать, пока не издохнет.

Манюся была такой же страстной лошадницей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях, для него было решительно всё равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом; он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умеют держаться на седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам.

Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями, видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил:

-- Вы изволили на каникулы приехать?

-- Нет, я здесь постоянно живу, -- ответил Никитин. -- Я служу преподавателем в гимназии.

-- Неужели? -- удивился доктор. -- Так молоды и уже учительствуете?

-- Где же молод? Мне 26 лет... Слава тебе господи.

-- У вас и борода и усы, но всё же на вид вам нельзя дать больше 22 -- 23 лет. Как вы моложавы!

"Что за свинство! -- подумал Никитин. -- И этот считает меня молокососом!"

Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения и он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять.

Из сада поехали дальше, на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить, все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова от зари.

Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала, и он чувствовал, отчего она молчит и почему едет рядом с ним, и был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода -- всё сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его Граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо.

Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и, по обыкновению, что-то критиковал.

-- Это хамство! -- говорил он. -- Хамство и больше ничего. Да-с, хамство-с!

Никитину с тех пор, как он влюбился в Манюсю, всё нравилось у Шелестовых: и дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово "хамство", которое любил часто произносить старик. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек, да египетские голуби, которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак дворовых и комнатных было так много, что за всё время знакомства с Шелестовыми он научился узнавать только двух: Мушку и Сома. Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатою мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидела; увидев его, она всякий раз склоняла голову набок, скалила зубы и начинала: "ррр... нга-нга-нга-нга... ррр..."

Потом садилась под стул. Когда же он пытался прогнать ее из-под своего стула, она заливалась пронзительным лаем, а хозяева говорили:

-- Не бойтесь, она не кусается. Она у нас добрая.

Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом, жестким, как палка. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола. Это был добрый глупый пес, но Никитин терпеть его не мог за то, что он имел привычку класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки. Никитин не раз пробовал бить его по большому лбу колодкой ножа, щелкал по носу, бранился, жаловался, но ничто не спасало его брюк от пятен.

После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча, перед вторым же принялись спорить. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. Ей было уже 23 года, она была хороша собой, красивее Манюси, считалась самою умной и образованной в доме и держала себя солидно, строго, как это и подобало старшей дочери, занявшей в доме место покойной матери. На правах хозяйки она ходила при гостях в блузе, офицеров величала по фамилии, на Манюсю глядела как на девочку и говорила с нею тоном классной дамы. Называла она себя старою девой -- значит, была уверена, что выйдет замуж.

Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор. У нее была какая-то страсть -- ловить всех на слове, уличать в противоречии, придираться к фразе. Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь, а она уже пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает: "Позвольте, позвольте, Петров, третьего дня вы говорили совсем противоположное!"

Или же она насмешливо улыбается и говорит: "Однако, я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы третьего отделения. Поздравляю вас".

Если вы сострили или сказали каламбур, тотчас же вы слышите ее голос: "Это старо!" или: "Это плоско!" Если же острит офицер, то она делает презрительную гримасу и говорит: "Арррмейская острота!"

И это "ррр"... выходило у нее так внушительно, что Мушка непременно отвечала ей из-под стула: "ррр... нга-нга-нга"...

Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах.

-- Позвольте, Сергей Васильич, -- перебила его Варя. -- Вот вы говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? Например, вы задали ученикам VIII класса сочинение на тему: "Пушкин как психолог". Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем, а во-вторых, какой же Пушкин психолог? Ну, Щедрин или, положим, Достоевский -- другое дело, а Пушкин великий поэт и больше ничего.

-- Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе, -- угрюмо ответил Никитин.

-- Я знаю, у вас в гимназии не признают Щедрина, но не в этом дело. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог?

-- А то разве не психолог? Извольте, я приведу вам примеры.

И Никитин продекламировал несколько мест из "Онегина", потом из "Бориса Годунова".

-- Никакой не вижу тут психологии, -- вздохнула Варя. -- Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего.

-- Я знаю, какой вам нужно психологии! -- обиделся Никитин. -- Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилою палец и чтобы я орал во всё горло, -- это, по-вашему, психология.

-- Плоско! Однако, вы все-таки не доказали мне: почему же Пушкин психолог?

Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол. И теперь то же самое: он вскочил, схватил себя за голову и со стоном прошелся вокруг стола, потом сел поодаль.

За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника.

-- Это хамство! -- доносилось с другого конца стола. -- Я так и губернатору сказал: это, ваше превосходительство, хамство!

-- Я больше не спорю! -- крикнул Никитин. -- Это его же царствию не будет конца! Баста! Ах, да поди ты прочь, поганая собака! -- крикнул он на Сома, который положил ему на колени голову и лапу.

"Ррр... нга-нга-нга"... -- послышалось из-под стула.

-- Сознайтесь, что вы не правы! -- крикнула Варя. -- Сознайтесь!

Но пришли гостьи-барышни, и спор прекратился сам собой. Все отправились в зал. Варя села за рояль и стала играть танцы. Протанцевали сначала вальс, потом польку, потом кадриль с grand-rond, которое провел по всем комнатам штабс-капитан Полянский, потом опять стали танцевать вальс.

Старики во время танцев сидели в зале, курили и смотрели на молодежь. Между ними находился и Шебалдин, директор городского кредитного общества, славившийся своей любовью к литературе и сценическому искусству. Он положил начало местному "Музыкально-драматическому кружку" и сам принимал участие в спектаклях, играя почему-то всегда только одних смешных лакеев или читая нараспев "Грешницу". Звали его в городе мумией, так как он был высок, очень тощ, жилист и имел всегда торжественное выражение лица и тусклые неподвижные глаза. Сценическое искусство он любил так искренно, что даже брил себе усы и бороду, а это еще больше делало его похожим на мумию.

После grand-rond он нерешительно, как-то боком подошел к Никитину, кашлянул и сказал:

-- Я имел удовольствие присутствовать за чаем во время спора. Вполне разделяю ваше мнение. Мы с вами единомышленники, и мне было бы очень приятно поговорить с вами. Вы изволили читать "Гамбургскую драматургию" Лессинга?

-- Нет, не читал.

Шебалдин ужаснулся и замахал руками так, как будто ожег себе пальцы, и, ничего не говоря, попятился от Никитина. Фигура Шебалдина, его вопрос и удивление показались Никитину смешными, но он все-таки подумал:

"В самом деле неловко. Я -- учитель словесности, а до сих пор еще не читал Лессинга. Надо будет прочесть".

Перед ужином все, молодые и старые, сели играть в "судьбу". Взяли две колоды карт: одну сдали всем поровну, другую положили на стол рубашкой вверх.

-- У кого на руках эта карта, -- начал торжественно старик Шелестов, поднимая верхнюю карту второй колоды, -- тому судьба пойти сейчас в детскую и поцеловаться там с няней.

Удовольствие целоваться с няней выпало на долю Шебалдина. Все гурьбой окружили его, повели в детскую и со смехом, хлопая в ладоши, заставили поцеловаться с няней. Поднялся шум, крик...

-- Не так страстно! -- кричал Шелестов, плача от смеха. -- Не так страстно!

Никитину вышла судьба исповедовать всех. Он сел на стул среди залы. Принесли шаль и накрыли его с головой. Первой пришла к нему исповедоваться Варя.

-- Я знаю ваши грехи, -- начал Никитин, глядя в потемках на ее строгий профиль. -- Скажите мне, сударыня, с какой это стати вы каждый день гуляете с Полянским? Ох, недаром, недаром она с гусаром!

-- Это плоско, -- сказала Варя и ушла.

Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза, обозначился в потемках милый профиль и запахло чем-то дорогим, давно знакомым, что напоминало Никитину комнату Манюси.

-- Мария Годфруа, -- сказал он и не узнал своего голоса -- так он был нежен и мягок, -- в чем вы грешны?

Манюся прищурила глаза и показала ему кончик языка, потом засмеялась и ушла. А через минуту она уже стояла среди залы, хлопала в ладоши и кричала:

-- Ужинать, ужинать, ужинать!

И все повалили в столовую.

За ужином Варя опять спорила и на этот раз с отцом. Полянский солидно ел, пил красное вино и рассказывал Никитину, как он раз зимою, будучи на войне, всю ночь простоял по колено в болоте; неприятель был близко, так что не позволялось ни говорить, ни курить, ночь была холодная, темная, дул пронзительный ветер. Никитин слушал и косился на Манюсю. Она глядела на него неподвижно, не мигая, точно задумалась о чем-то или забылась... Для него это было и приятно, и мучительно.

"Зачем она на меня так смотрит? -- мучился он. -- Это неловко. Могут заметить. Ах, как она еще молода, как наивна!"

Гости стали расходиться в полночь. Когда Никитин вышел за ворота, во втором этаже дома хлопнуло окошко и показалась Манюся.

-- Сергей Васильич! -- окликнула она.

-- Что прикажете?

-- Вот что... -- проговорила Манюся, видимо, придумывая, что бы сказать. -- Вот что... Полянский обещал прийти на днях со своей фотографией и снять всех нас. Надо будет собраться.

-- Хорошо.

Манюся скрылась, окно хлопнуло, и тотчас же в доме кто-то заиграл на рояле.

"Ну, дом! -- думал Никитин, переходя через улицу. -- Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости!"

Но не у одних только Шелестовых жилось весело. Не прошел Никитин и двухсот шагов, как и из другого дома послышались звуки рояля. Прошел он еще немного и увидел у ворот мужика, играющего на балалайке. В саду оркестр грянул попурри из русских песен...

Никитин жил в полуверсте от Шелестовых, в квартире из восьми комнат, которую он нанимал за триста рублей в год вместе со своим товарищем, учителем географии и истории Ипполитом Ипполитычем. Этот Ипполит Ипполитыч, еще не старый человек, с рыжею бородкой, курносый, с лицом грубоватым и неинтеллигентным, как у мастерового, но добродушным, когда вернулся домой Никитин, сидел у себя за столом и поправлял ученические карты. Самым нужным и самым важным считалось у него по географии черчение карт, а по истории -- знание хронологии; по целым ночам сидел он и синим карандашом поправлял карты своих учеников и учениц или же составлял хронологические таблички.

-- Какая сегодня великолепная погода! -- сказал Никитин, входя к нему. -- Удивляюсь вам, как это вы можете сидеть в комнате.

Ипполит Ипполитыч был человек неразговорчивый; он или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно. Теперь он ответил так:

-- Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будет настоящее лето. А лето не то, что зима. Зимою нужно печи топить, а летом и без печей тепло. Летом откроешь ночью окна, и всё-таки тепло, а зимою -- двойные рамы, и всё-таки холодно.

Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился.

-- Спокойной ночи! -- сказал он, поднимаясь и зевая. -- Хотел было я рассказать вам нечто романическое, меня касающееся, но ведь вы -- география! Начнешь вам о любви, а вы сейчас: "В каком году была битва при Калке?" Ну вас к чёрту с вашими битвами и с Чукотскими носами!

-- Что же вы сердитесь?

-- Да досадно!

И, досадуя, что он не объяснился еще с Манюсей и что ему не с кем теперь поговорить о своей любви, он пошел к себе в кабинет и лег на диван. В кабинете было темно и тихо. Лежа и глядя в потемки, Никитин стал почему-то думать о том, как через два или три года он поедет зачем-нибудь в Петербург, как Манюся будет провожать его на вокзал и плакать; в Петербурге он получит от нее длинное письмо, в котором она будет умолять его скорее вернуться домой. И он напишет ей... Свое письмо начнет так: милая моя крыса...

-- Именно, милая моя крыса, -- сказал он и засмеялся.

Ему было неудобно лежать. Он подложил руки под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тем окно начало заметно бледнеть, на дворе заголосили сонные петухи. Никитин продолжал думать о том, как он вернется из Петербурга, как встретит его на вокзале Манюся и, вскрикнув от радости, бросится ему на шею; или, еще лучше, он схитрит: приедет ночью потихоньку, кухарка отворит ему, потом на цыпочках пройдет он в спальню, бесшумно разденется и -- бултых в постель! А она проснется и -- о радость!

Воздух совсем побелел. Кабинета и окна уж не было. На крылечке пивоваренного завода, того самого, мимо которого сегодня проезжали, сидела Манюся и что-то говорила. Потом она взяла Никитина под руку и пошла с ним в загородный сад. Тут он увидел дубы и вороньи гнезда, похожие на шапки. Одно гнездо закачалось, выглянул из него Шебалдин и громко крикнул: "Вы не читали Лессинга!"

Никитин вздрогнул всем телом и открыл глаза. Перед диваном стоял Ипполит Ипполитыч и, откинув назад голову, надевал галстук.

-- Вставайте, пора на службу, -- говорил он. -- А в одежде спать нельзя. От этого одежда портится. Спать надо в постели, раздевшись...

И он, по обыкновению, стал длинно и с расстановкой говорить о том, что всем давно уже известно.

Первый урок у Никитина был по русскому языку, во втором классе. Когда он ровно в девять часов вошел в этот класс, то здесь, на черной доске, были написаны мелом две большие буквы: М. Ш. Это, вероятно, значило: Маша Шелестова.

"Уж пронюхали, подлецы... -- подумал Никитин. -- И откуда они всё знают?

Второй урок по словесности был в пятом классе. И тут на доске было написано М. Ш., а когда он, кончив урок, выходил из этого класса, сзади него раздался крик, точно в театральном райке:

-- Ура-а-а! Шелестова!!

От спанья в одежде было нехорошо в голове, тело изнемогало от лени. Ученики, каждый день ждавшие роспуска перед экзаменами, ничего не делали, томились, шалили от скуки. Никитин тоже томился, не замечал шалостей и то и дело подходил к окну. Ему была видна улица, ярко освещенная солнцем. Над домами прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, бесконечная даль с синеющими рощами, с дымком от бегущего поезда...

Вот по улице в тени акаций, играя хлыстиками, прошли два офицера в белых кителях. Вот на линейке проехала куча евреев с седыми бородами и в картузах. Гувернантка гуляет с директорскою внучкой... Пробежал куда-то Сом с двумя дворняжками... А вот, в простеньком сером платье и в красных чулочках, держа в руке "Вестник Европы", прошла Варя. Была, должно быть, в городской библиотеке...

А уроки кончатся еще не скоро -- в три часа! После же уроков нужно идти не домой и не к Шелестовым, а к Вольфу на урок. Этот Вольф, богатый еврей, принявший лютеранство, не отдавал своих детей в гимназию, а приглашал к ним гимназических учителей и платил по пяти рублей за урок...

"Скучно, скучно, скучно!"

В три часа он пошел к Вольфу и высидел у него, как ему показалось, целую вечность. Вышел от него в пять часов, а в седьмом уже должен был идти в гимназию, на педагогический совет -- составлять расписание устных экзаменов для IV и VI классов!

Когда, поздно вечером, шел он из гимназии к Шелестовым, сердце у него билось и лицо горело. Неделю и месяц тому назад всякий раз, собираясь объясниться, он приготовлял целую речь с предисловием и с заключением, теперь же у него не было наготове ни одного слова, в голове всё перепуталось, и он только знал, что сегодня он наверное объяснится и что дольше ждать нет никакой возможности.

"Я приглашу ее в сад, -- обдумывал он, -- немножко погуляю и объяснюсь"...

В передней не было ни души; он вошел в залу, потом в гостиную... Тут тоже никого не было. Слышно было, как наверху, во втором этаже, с кем-то спорила Варя и как в детской стучала ножницами наемная швея.

Была в доме комнатка, которая носила три названия: маленькая, проходная и темная. В ней стоял большой старый шкап с медикаментами, с порохом и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этаж узкая деревянная лестничка, на которой всегда спали кошки. Были тут двери: одна -- в детскую, другая -- в гостиную. Когда вошел сюда Никитин, чтобы отправиться наверх, дверь из детской отворилась и хлопнула так, что задрожали и лестница и шкап; вбежала Манюся в темном платье, с куском синей материи в руках, и, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице.

-- Постойте... -- остановил ее Никитин. -- Здравствуйте, Годфруа... Позвольте...

Он запыхался, не знал что говорить; одною рукой держал ее за руку, а другою -- за синюю материю. А она не то испугалась, не то удивилась и глядела на него большими глазами.

-- Позвольте... -- продолжал Никитин, боясь, чтоб она не ушла. -- Мне нужно вам кое-что сказать... Только... здесь неудобно. Я не могу, не в состоянии... Понимаете ли, Годфруа, я не могу... вот и всё...

Синяя материя упала на пол, и Никитин взял Манюсю за другую руку. Она побледнела, зашевелила губами, потом попятилась назад от Никитина и очутилась в углу между стеной и шкапом.

-- Честное слово, уверяю вас... -- сказал он тихо. -- Манюся, честное слово...

Она откинула назад голову, а он поцеловал ее в губы и, чтоб этот поцелуй продолжался дольше, он взял ее за щеки пальцами; и как-то так вышло, что сам он очутился в углу между шкапом и стеной, а она обвила руками его шею и прижалась к его подбородку головой.

Потом оба побежали в сад.

Сад у Шелестовых был большой, на четырех десятинах. Тут росло с два десятка старых кленов и лип, была одна ель, всё же остальное составляли фруктовые деревья: черешни, яблони, груши, дикий каштан, серебристая маслина... Много было и цветов.

Никитин и Манюся молча бегали по аллеям, смеялись, задавали изредка друг другу отрывистые вопросы, на которые не отвечали, а над садом светил полумесяц и на земле из темной травы, слабо освещенной этим полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви.

Когда Никитин и Манюся вернулись в дом, офицеры и барышни были уже в сборе и танцевали мазурку. Опять Полянский водил по всем комнатам grand-rond, опять после танцев играли в судьбу. Перед ужином, когда гости пошли из залы в столовую, Манюся, оставшись одна с Никитиным, прижалась к нему и сказала:

-- Ты сам поговори с папой и Варей. Мне стыдно...

После ужина он говорил со стариком. Выслушав его, Шелестов подумал и сказал:

-- Очень вам благодарен за честь, которую вы оказываете мне и дочери, но позвольте мне поговорить с вами по-дружески. Буду говорить с вами не как отец, а как джентльмен с джентльменом. Скажите, пожалуйста, что вам за охота так рано жениться? Это только мужики женятся рано, но там, известно, хамство, а вы-то с чего? Что за удовольствие в такие молодые годы надевать на себя кандалы?

-- Я вовсе не молод! -- обиделся Никитин. -- Мне 27-й год.

-- Папа, коновал пришел! -- крикнула из другой комнаты Варя.

И разговор прекратился. Домой провожали Никитина Варя, Манюся и Полянский. Когда подошли к его калитке, Варя сказала:

-- Что это ваш таинственный Митрополит Митрополитыч никуда не показывается? Пусть бы к нам пришел.

Таинственный Ипполит Ипполитыч, когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели и снимал панталоны.

-- Не ложитесь, голубчик! -- сказал ему Никитин, задыхаясь. -- Постойте, не ложитесь!

Ипполит Ипполитыч быстро надел панталоны и спросил встревоженно:

-- Что такое?

-- Я женюсь!

Никитин сел рядом с товарищем и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себе, сказал:

-- Представьте, женюсь! На Маше Шелестовой! Сегодня предложение сделал.

-- Что ж? Она девушка, кажется, хорошая. Только молода очень.

-- Да, молода! -- вздохнул Никитин и озабоченно пожал плечами. -- Очень, очень молода!

-- Она у меня в гимназии училась. Я ее знаю. По географии училась ничего себе, а по истории -- плохо. И в классе была невнимательна.

Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища и захотелось сказать ему что-нибудь ласковое, утешительное.

-- Голубчик, отчего вы не женитесь? -- спросил он. -- Ипполит Ипполитыч, отчего бы вам, например, на Варе не жениться? Это чудная, превосходная девушка! Правда, она очень любит спорить, но зато сердце... какое сердце! Она сейчас про вас спрашивала. Женитесь на ней, голубчик! А?

Он отлично знал, что Варя не пойдет за этого скучного курносого человека, но все-таки убеждал его жениться на ней. Зачем?

-- Женитьба -- шаг серьезный, -- сказал Ипполит Ипполитыч, подумав. -- Надо обсудить все, взвесить, а так нельзя. Благоразумие никогда не мешает, а в особенности в женитьбе, когда человек, перестав быть холостым, начинает новую жизнь.

И он заговорил о том, что всем давно уже известно. Никитин не стал слушать его, простился и пошел к себе. Он быстро разделся и быстро лег, чтобы поскорее начать думать о своем счастии, о Манюсе, о будущем, улыбнулся и вдруг вспомнил, что он не читал еще Лессинга.

"Надо будет прочесть... -- подумал он. -- Впрочем, зачем мне его читать? Ну его к чёрту!"

И утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул и улыбался до самого утра.

Снился ему стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; снилось, как из конюшни вывели сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку...

II

"В церкви было очень тесно и шумно, и раз даже кто-то вскрикнул, и протоиерей, венчавший меня и Манюсю, взглянул через очки на толпу и сказал сурово:

-- Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страх божий иметь.

Шаферами у меня были два моих товарища, а у Мани -- штабс-капитан Полянский и поручик Гернет. Архиерейский хор пел великолепно. Треск свечей, блеск, наряды, офицеры, множество веселых, довольных лиц и какой-то особенный, воздушный вид у Мани, и вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слез, наполняли торжеством. Я думал: как расцвела, как поэтически красиво сложилась в последнее время моя жизнь! Два года назад я был еще студентом, жил в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных и, как казалось мне тогда, без будущего. Теперь же я -- учитель гимназии в одном из лучших губернских городов, обеспечен, любим, избалован. Для меня вот, думал я, собралась теперь эта толпа, для меня горят три паникадила, ревет протодьякон, стараются певчие, и для меня так молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое немного погодя будет называться моею женой. Я вспомнил первые встречи, наши поездки за город, объяснение в любви и погоду, которая, как нарочно, всё лето была дивно хороша; и то счастье, которое когда-то на Неглинном представлялось мне возможным только в романах и повестях, теперь я испытывал на самом деле, казалось, брал его руками.

После венчания все в беспорядке толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствие, поздравляли и желали счастья. Бригадный генерал, старик лет под семьдесят, поздравил одну только Манюсю и сказал ей старческим скрипучим голосом, так громко, что пронеслось по всей церкви:

-- Надеюсь, милая, и после свадьбы вы останетесь всё таким же розаном.

Офицеры, директор и все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем лице приятную неискреннюю улыбку. Милейший Ипполит Ипполитыч, учитель истории и географии, всегда говорящий то, что всем давно известно, крепко пожал мне руку и сказал с чувством:

-- До сих пор вы были не женаты и жили одни, а теперь вы женаты и будете жить вдвоем.

Из церкви поехали в двухэтажный нештукатуренный дом, который я получаю теперь в приданое. Кроме этого дома, за Маней деньгами тысяч двадцать и еще какая-то Мелитоновская пустошь со сторожкой, где, как говорят, множество кур и уток, которые без надзора становятся дикими. Но приезде из церкви, и потягивался, развалясь у себя в новом кабинете на турецком диване, и курил; мне было мягко, удобно и уютно, как никогда в жизни, а в это время гости кричали ура, и в передней плохая музыка играла туши и всякий вздор. Варя, сестра Мани, вбежала в кабинет с бокалом в руке и с каким-то странным, напряженным выражением, точно у нее рот был полон воды; она, по-видимому, хотела бежать дальше, но вдруг захохотала и зарыдала, и бокал со звоном покатился по полу. Мы подхватили ее под руки и увели.

-- Никто не может понять! -- бормотала она потом в самой дальней комнате, лежа на постели у кормилицы. -- Никто, никто! Боже мой, никто не может понять!

Но все отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на четыре года и всё еще не замужем и что плакала она не из зависти, а из грустного сознания, что время ее уходит и, быть может, даже ушло. Когда танцевали кадриль, она была уже в зале, с заплаканным, сильно напудренным лицом, и я видел, как штабс-капитан Полянский держал перед ней блюдечко с мороженым, а она кушала ложечкой...

Уже шестой час утра. Я взялся за дневник, чтобы описать свое полное, разнообразное счастье, и думал, что напишу листов шесть и завтра прочту Мане, но, странное дело, у меня в голове всё перепуталось, стало неясно, как сон, и мне припоминается резко только этот эпизод с Варей и хочется написать: бедная Варя! Вот так бы всё сидел и писал: бедная Варя! Кстати же зашумели деревья: будет дождь; каркают вороны, и у моей Мани, которая только что уснула, почему-то грустное лицо".

Потом Никитин долго не трогал своего дневника. В первых числах августа начались у него переэкзаменовки и приемные экзамены, а после Успеньева дня -- классные занятия. Обыкновенно в девятом часу утра он уходил на службу и уже в десятом начинал тосковать по Мане и по своем новом доме и посматривал на часы. В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков диктовать и, пока дети писали, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал; мечтал ли он о будущем, вспоминал ли о прошлом -- всё у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. В старших классах читали вслух Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту, в воображении вырастали люди, деревья, поля, верховые лошади, и он говорил со вздохом, как бы восхищаясь автором:

-- Как хорошо!

Во время большой перемены Маня присылала ему завтрак в белой, как снег, салфеточке, и он съедал его медленно, с расстановкой, чтобы продлить наслаждение, а Ипполит Ипполитыч, обыкновенно завтракавший одною только булкой, смотрел на него с уважением и с завистью и говорил что-нибудь известное, вроде:

-- Без пищи люди не могут существовать.

Из гимназии Никитин шел на частные уроки, и когда наконец в шестом часу возвращался домой, то чувствовал и радость и тревогу, как будто не был дома целый год. Он вбегал по лестнице, запыхавшись, находил Маню, обнимал ее, целовал и клялся, что любит ее, жить без нее не может, уверял, что страшно соскучился, и со страхом спрашивал ее, здорова ли она и отчего у нее такое невеселое лицо. Потом вдвоем обедали. После обеда он ложился в кабинете на диван и курил, а она садилась возле и рассказывала вполголоса.

Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенья и праздники, когда он с утра до вечера оставался дома. В эти дни он принимал участие в наивной, но необыкновенно приятной жизни, напоминавшей ему пастушеские идиллии. Он не переставая наблюдал, как его разумная и положительная Маня устраивала гнездо, и сам тоже, желая показать, что он не лишний в доме, делал что-нибудь бесполезное, например, выкатывал из сарая шарабан и оглядывал его со всех сторон. Манюся завела от трех коров настоящее молочное хозяйство, и у нее в погребе и на погребице было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной, и всё это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока; она пугалась, так как это был непорядок, но он со смехом обнимал ее и говорил:

-- Ну, ну, я пошутил, золото мое! Пошутил!

Или же он посмеивался над ее педантизмом, когда она, например, найдя в шкапу завалящий, твердый, как камень, кусочек колбасы или сыру, говорила с важностью:

-- Это съедят в кухне.

Он замечал ей, что такой маленький кусочек годится только в мышеловку, а она начинала горячо доказывать, что мужчины ничего не понимают в хозяйстве и что прислугу ничем не удивишь, пошли ей в кухню хоть три пуда закусок, и он соглашался и в восторге обнимал ее. То, что в ее словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным; то же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно.

Иногда на него находил философский стих, и он начинал рассуждать на какую-нибудь отвлеченную тему, а она слушала и смотрела ему в лицо с любопытством.

-- Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость, -- говорил он, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. -- Но на это свое счастье я не смотрю как на нечто такое, что свалилось на меня случайно, точно с неба. Это счастье -- явление вполне естественное, последовательное, логически верное. Я верю в то, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал. Да, говорю без жеманства, это счастье создал я сам и владею им по праву. Тебе известно мое прошлое. Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность -- всё это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью...

В октябре гимназия понесла тяжелую потерю: Ипполит Ипполитыч заболел рожей головы и скончался. Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:

-- Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...

В тот день, когда его хоронили, учения в гимназии не было. Товарищи и ученики несли крышку и гроб, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел "Святый боже". В процессии участвовало три священника, два дьякона, вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. И глядя на торжественные похороны, встречные прохожие крестились и говорили:

-- Дай бог всякому так помереть.

Вернувшись с кладбища домой, растроганный Никитин отыскал в столе свой дневник и написал:

"Сейчас опустили в могилу Ипполита Ипполитовича Рыжицкого.

Мир праху твоему, скромный труженик! Маня, Варя и все женщины, бывшие на похоронах, искренно плакали, быть может, оттого, что знали, что этого неинтересного, забитого человека не любила никогда ни одна женщина. Я хотел сказать на могиле товарища теплое слово, но меня предупредили, что это может не понравиться директору, так как он не любил покойного. После свадьбы это, кажется, первый день, когда у меня не легко на душе..."

Затем во весь учебный сезон не было никаких особенных событий.

Зима была вялая, без морозов, с мокрым снегом; под Крещенье, например, всю ночь ветер жалобно выл по-осеннему, и текло с крыш, а утром во время водосвятия полиция не пускала никого на реку, так как, говорили, лед надулся и потемнел. Но, несмотря на дурную погоду,

Никитину жилось так же счастливо, как и летом. Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение: он научился играть в винт. Только одно иногда волновало и сердило его и, казалось, мешало ему быть вполне счастливым: это кошки и собаки, которых он получил в приданое. В комнатах всегда, особенно по утрам, пахло, как в зверинце, и этого запаха ничем нельзя было заглушить; кошки часто дрались с собаками. Злую Мушку кормили по десяти раз в день, она по-прежнему не признавала Никитина и ворчала на него:

-- Ppp... нга-нга-нга...

Как-то Великим постом в полночь возвращался он домой из клуба, где играл в карты. Шел дождь, было темно и грязно. Никитин чувствовал на душе неприятный осадок и никак не мог понять, отчего это: оттого ли, что он проиграл в клубе двенадцать рублей, или оттого, что один из партнеров, когда расплачивались, сказал, что у Никитина куры денег не клюют, очевидно, намекая на приданое? Двенадцать рублей было не жалко, и слова партнера не содержали в себе ничего обидного, но все-таки было неприятно. Даже домой не хотелось.

-- Фуй, как нехорошо! -- проговорил он, останавливаясь около фонаря.

Ему пришло в голову, что двенадцати рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даром. Вот если бы он был работником, то знал бы цену каждой копейке и не был бы равнодушен к выигрышу и проигрышу. Да и всё счастье, рассуждал он, досталось ему даром, понапрасну и в сущности было для него такою же роскошью, как лекарство для здорового; если бы он, подобно громадному большинству людей, был угнетен заботой о куске хлеба, боролся за существование, если бы у него болели спина и грудь от работы, то ужин, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшением его жизни; теперь же всё это имело какое-то странное, неопределенное значение.

-- Фуй, как нехорошо! -- повторил он, отлично понимая, что эти рассуждения сами по себе уже дурной знак.

Когда он пришел домой, Маня была в постели. Она ровно дышала и улыбалась и, по-видимому, спала с большим удовольствием. Возле нее, свернувшись клубочком, лежал белый кот и мурлыкал. Пока Никитин зажигал свечу и закуривал, Маня проснулась и с жадностью выпила стакан воды.

-- Мармеладу наелась, -- сказала она и засмеялась. -- Ты у наших был? -- спросила она, помолчав.

-- Нет, не был.

Никитин уже знал, что штабс-капитан Полянский, на которого в последнее время сильно рассчитывала Варя, получил перевод в одну из западных губерний и уже делал в городе прощальные визиты, и поэтому в доме тестя было скучно.

-- Вечером заходила Варя, -- сказала Маня, садясь. -- Она ничего не говорила, но по лицу видно, как ей тяжело, бедняжке. Терпеть не могу Полянского. Толстый, обрюзг, а когда ходит или танцует, щеки трясутся... Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочным человеком.

-- Я и теперь считаю его порядочным.

-- А зачем он так дурно поступил с Варей?

-- Почему же дурно? -- спросил Никитин, начиная чувствовать раздражение против белого кота, который потягивался, выгнув спину. -- Насколько мне известно, он предложения не делал и обещаний никаких не давал.

-- А зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться, то не ходи.

Никитин потушил свечу и лег. Но не хотелось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, как амбар, и что в ней бродят новые, какие-то особенные мысли в виде длинных теней. Он думал о том, что, кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир... И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать... Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны. И в воображении вдруг, как живой, вырос бритый Шебалдин и проговорил с ужасом:

-- Вы не читали даже Лессинга! Как вы отстали! Боже, как вы опустились!

Маня опять стала пить воду. Он взглянул на ее шею, полные плечи и грудь и вспомнил слово, которое когда-то в церкви сказал бригадный генерал: розан.

-- Розан, -- пробормотал он и засмеялся.

В ответ ему под кроватью заворчала сонная Мушка:

-- Ррр... нга-нга-нга...

Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебиение.

-- Так значит, -- спросил он, сдерживая себя, -- если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе?

-- Конечно. Ты сам это отлично понимаешь.

-- Мило.

И через минуту опять повторил:

-- Мило.

Чтобы не сказать лишнего и успокоить сердце, Никитин пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки, потом полежал на полу, на ковре.

"Какой вздор! -- успокаивал он себя. -- Ты -- педагог, работаешь на благороднейшем поприще... Какого же тебе еще нужно другого мира? Что за чепуха!"

Но тотчас же он с уверенностью говорил себе, что он вовсе не педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как чех, преподаватель греческого языка; никогда у него не было призвания к учительской деятельности, с педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался, обращаться с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, было ему

неизвестно, и, быть может, даже он учил тому, что не нужно. Покойный Ипполит Ипполитыч был откровенно туп, и все товарищи и ученики знали, кто он и чего можно ждать от него; он же, Никитин, подобно чеху, умеет скрывать свою тупость и ловко обманывает всех, делая вид, что у него, слава богу, всё идет хорошо. Эти новые мысли пугали Никитина, он отказывался от них, называл их глупыми и верил, что всё это от нервов, что сам же он будет смеяться над собой...

И в самом деле, под утро он уже смеялся над своею нервностью и называл себя бабой, но для него уже было ясно, что покой потерян, вероятно, навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем.

На другой день, в воскресенье, он был в гимназической церкви и виделся там с директором и товарищами. Ему казалось, что все они были заняты только тем, что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью, и сам он, чтобы не выдать им своего беспокойства, приятно улыбался и говорил о пустяках. Потом он ходил на вокзал и видел там, как пришел и ушел почтовый поезд, и ему приятно было, что он один и что ему не нужно ни с кем разговаривать.

Дома застал он тестя и Варю, которые пришли к нему обедать. Варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль, а Шелестов ел очень много и говорил о том, как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменства.

-- Это хамство! -- говорил он. -- Так я ему прямо и скажу: это хамство, милостивый государь!

Никитин приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей, но после обеда пошел к себе в кабинет и заперся.

Мартовское солнце светило ярко, и сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. Было еще только двадцатое число, но уже ездили на колесах, и в саду шумели скворцы. Похоже было на то, что сейчас вот войдет Манюся, обнимет одною рукой за шею и скажет, что подали к крыльцу верховых лошадей или шарабан, и спросит, что ей надеть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости... Но Никитин думал о том, что хороню бы взять теперь отпуск и уехать в Москву и остановиться там на Неглинном в знакомых номерах. В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике: "Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!"

Часть 2. Ирония: литература XX и нашего века

Саша Черный

Справочный материал

Саша Черный (настоящее имя Александр Михайлович Гликберг) родился 1 октября 1880 года в городе Одесса. В семье провизора было 5 детей, двое из которых были Саши. Блондин и брюнет, «Белый» и «Черный». Так и появился псевдоним.

Мальчик стал гимназистом в возрасте десяти лет. Чтобы Саша смог поступить учиться вне «процентной нормы» для евреев, отец крестил его. Но учеба давалась Саше с трудом, его неоднократно отчисляли за неуспеваемость. В 15 лет мальчик сбежал из дома, начал бродяжничать и вскоре оказался без средств к существованию. Отец и мать перестали отвечать на его просьбы о помощи. О судьбе Саши случайно узнал журналист и написал об этом статью, которая попала в руки крупного житомирского чиновника К. Роше. Роше был растроган этой печальной историей, и взял юношу к себе в дом. Так Саша попал в Житомир.

Но и здесь будущий поэт гимназию не закончил, на этот раз - из-за конфликта с директором. Сашу призвали на воинскую службу, где он отслужил два года.

Далее Александр оказался в местечке Новоселицы (на границе с Австро-Венгрией), где поступил работать в местную таможню.

Вернувшись в Житомир, он начал работать в газете «Волынский вестник». Здесь напечатан его «Дневник резонёра», подписанный «Сам по себе». Однако газета быстро закрылась. Молодой человек, уже увлекшийся литературой, решает переехать в Петербург. Здесь Сашу приютили родные Константина Роше. Александр служил чиновником на Варшавской железной дороге. Его начальницей была Мария Ивановна Васильева. Несмотря на то, что она была старше Саши на несколько лет, они сблизились и в 1905 году поженились. Александр Гликберг оставил работу в конторе и целиком отдался литературному творчеству. Так он стал Сашей Черным.

Первое же его стихотворение «Чепуха», опубликованное под никому не известным псевдонимом, привело к закрытию журнала "Зритель", в котором оно было опубликовано, и распространилось в списках по всей стране. Стихи Саши Черного – и саркастические, и нежные, приобрели всероссийскую популярность. Корней Чуковский писал: «…получив свежий номер журнала, читатель, прежде всего, искал в нем стихи Саши Чёрного».

В 1906 году вышел в свет сборник стихов «Разные мотивы», который вскоре был запрещен цензурой из-за политической сатиры.

В 1910-1913 годах поэт писал детские книги.

В 1914 году Александр ушел на фронт, служил в 5-й армии рядовым при полевом лазарете и работал как прозаик. Однако, не выдержав ужасов войны, впал в депрессию и был помещен в госпиталь.

После Октябрьской революции осенью 1918 года Александр уехал в Прибалтику, а в 1920 году – в Германию. Некоторое время поэт жил в Италии, потом в Париже. На юге Франции провел он и последние годы жизни.

В эмиграции Саша работал в газетах и журналах, устраивал литературные вечера, ездил по Франции и Бельгии, выступал со стихами перед русскими слушателями, выпускал книги. Особое место в его творчестве теперь занимала проза, адресованная и взрослым, и детям.

Смерть Саши Черного была внезапной и неожиданной: рискуя жизнью, он помогал соседям тушить пожар, а потом, уже дома, у него произошел сердечный приступ. Умер Саша Черный во Франции в местечке Лаванду 5 июля 1932 года. Ему было всего 52 года.

Все в штанах, скроённых одинаково...

Это не было сходство, допусти-

мое даже в лесу,- это было то-

ждество, это было безумное превра-

щение одного в двоих.

(Л.Андреев. "Проклятие зверя")

Все в штанах, скроённых одинаково,

При усах, в пальто и в котелках.

Я похож на улице на всякого

И совсем теряюсь на углах...

Как бы мне не обменяться личностью:

Он войдет в меня,а я в него,-

Я охвачен полной безразличностью

И боюсь решительно всего...

Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!

Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!!

Я завидую каждой отдельной букашке,

Я живу, как последний дурак...

В лес! К озерам и девственным елям!

Буду лазить, как рысь, по шершавым стволам.

Надоело ходить по шаблонным панелям

И смотреть на подкрашенных дам!

Принесет мне ворона швейцарского сыра,

У заблудшей козы надою молока.

Если к вечеру станет прохладно и сыро,

Обложу себе мохом бока.

Там не будет газетных статей и отчетов.

Можно лечь под сосной и немножко повыть.

Иль украсть из дупла вкусно пахнущих сотов,

Или землю от скуки порыть...

А настанет зима- упираться не стану:

Буду голоден, сир, малокровен и гол -

И пойду к лейтенанту, к приятелю Глану:

У него даровая квартира и стол.

И скажу: "Лейтенант! Я - российский писатель,

Я без паспорта в лес из столицы ушел,

Я устал, как собака, и - веришь, приятель -

Как семьсот аллигаторов зол!

Люди в городе гибнут, как жалкие слизни,

Я хотел свою старую шкуру спасти.

Лейтенант! Я бежал от бессмысленной жизни

И к тебе захожу по пути..."

Мудрый Глан ничего мне на это не скажет,

Принесет мне дичины, вина, творогу...

Только пусть меня Глан основательно свяжет,

А иначе - я в город сбегу.[55]

Прокуроров было слишком много!..

Прокуроров было слишком много!

Кто грехов Твоих не осуждал?..

А теперь, когда темна дорога,

И гудит-ревет девятый вал,

О Тебе, волнуясь, вспоминаем,-

Это все, что здесь мы сберегли...

И встает былое светлым раем,

Словно детство в солнечной пыли...[56]

Простые слова

[55] 1907 или 1908 Саша Черный. Стихотворения. Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Ленинград, "Советский писатель", 1960.

[56] Между 1920 и 1923 Саша Черный. Стихотворения. Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Ленинград, "Советский писатель", 1960.

Памяти Чехова

В наши дни трехмесячных успехов

И развязных гениев пера

Ты один, тревожно-мудрый Чехов,

С каждым днем нам ближе, чем вчера.

Сам не веришь, но зовешь и будишь,

Разрываешь ямы до конца

И с беспомощной усмешкой тихо судишь

Оскорбивших землю и Отца.

Вот ты жил меж нами, нежный, ясный,

Бесконечно ясный и простой,-

Видел мир наш хмурый и несчастный,

Отравлялся нашей наготой...

И ушел! Но нам больней и хуже:

Много книг, о, слишком много книг!

С каждым днем проклятый круг всё уже

И не сбросить "чеховских" вериг...

Ты хоть мог, вскрывая торопливо

Гнойники,- смеяться, плакать, мстить.

Но теперь всё вскрыто. Как тоскливо

Видеть, знать, не ждать и молча гнить![57]

<1910>

[57] Саша Черный. Стихотворения. Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Ленинград, "Советский писатель", 1960.

Культурная работа

Утро. Мутные стекла как бельма,

Самовар на столе замолчал.

Прочел о визитах Вильгельма

И сразу смертельно устал.

Шагал от дверей до окошка,

Барабанил марш по стеклу

И следил, как хозяйская кошка

Ловила свой хвост на полу.

Свистал. Рассматривал тупо

Комод, "Остров мертвых", кровать.

Это было и скучно, и глупо -

И опять начинал я шагать.

Взял Маркса. Поставил на полку.

Взял Гёте - и тоже назад.

Зевая, подглядывал в щелку,

Как соседка пила шоколад.

Напялил пиджак и пальтишко

И вышел. Думал, курил...

При мне какой-то мальчишка

На мосту под трамвай угодил.

Сбежались. Я тоже сбежался.

Кричали. Я тоже кричал,

Махал рукой, возмущался

И карточку приставу дал.

Пошел на выставку. Злился.

Ругал бездарность и ложь.

Обедал. Со скуки напился

И качался, как спелая рожь.

Поплелся к приятелю в гости,

Говорил о холере, добре,

Гучкове, Урьеле д‘Акосте -

И домой пришел на заре.

Утро... Мутные стекла как бельма.

Кипит самовар. Рядом "Русь"

С речами того же Вильгельма.

Встаю - и снова тружусь.[58]

<1910>

Здравствуй, Муза! Хочешь финик?..

Здравствуй, Муза! Хочешь финик?

Или рюмку марсалы?

Я сегодня именинник...

[58] Саша Черный. Стихотворения. Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Ленинград, "Советский писатель", 1960.

Что глядишь во все углы?

Не сердись: давай ладошку,

Я к глазам ее прижму...

Современную окрошку,

Как и ты, я не пойму.

Одуванчик бесполезный,

Факел нежной красоты!

Грохот дьявола над бездной

Надоел до тошноты...

Подари мне час беспечный!

Будет время - все уснем.

Пусть волною бытротечной

Хлещет в сердце день за днем.

Перед меркнущим камином

Лирой вмиг спугнем тоску!

Хочешь хлеба с маргарином?

Хочешь рюмку коньяку?

И улыбка молодая

Загорелась мне в ответ:

"Голова твоя седая,

А глазам - шестнадцать лет!"[59]

<1923>

[59] Саша Черный. Стихотворения. Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Ленинград, "Советский писатель", 1960.

Рождение футуризма

Художник в парусиновых штанах,

Однажды сев случайно на палитру,

Вскочил и заметался впопыхах:

«Где скипидар?! Давай — скорее вытру!»

Но, рассмотревши радужный каскад,

Он в трансе творческой интуитивной дрожи

Из парусины вырезал квадрат

И... учредил салон «Ослиной кожи».

<1912>

Стилизованный осел

(Ария для безголосых)

Голова моя - темный фонарь с перебитыми стеклами,

С четырех сторон открытый враждебным ветрам.

По ночам я шатаюсь с распутными, пьяными Феклами,

По утрам я хожу к докторам.

Тарарам.

Я волдырь на сиденье прекрасной российской словесности,

Разрази меня гром на четыреста восемь частей!

Оголюсь и добьюсь скандалёзно-всемирной известности,

И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей.

Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется,

У меня темперамент макаки и нервы как сталь.

Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется

И вопит: "Не поэзия - шваль!"

Врешь! Я прыщ на извечном сиденье поэзии,

Глянцевито-багровый, напевно-коралловый прыщ,

Прыщ с головкой белее несказанно-жженой магнезии,

И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ.

Ах, словесные, тонкие-звонкие фокусы-покусы!

Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.

Кто не понял - невежда. К нечистому! Накося - выкуси.

Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу...

Попишу животом, и ноздрей, и ногами, и пятками,

Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,

Зарифмую все это для стиля яичными смятками

И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках...[60]

<1909>

Недержание

У поэта умерла жена...

[60] Строфы века. Антология русской поэзии. Сост. Е.Евтушенко. Минск, Москва: Полифакт, 1995.

Он ее любил сильнее гонорара!

Скорбь его была безумна и страшна -

Но поэт не умер от удара.

После похорон пришел домой - до дна

Весь охвачен новым впечатленьем -

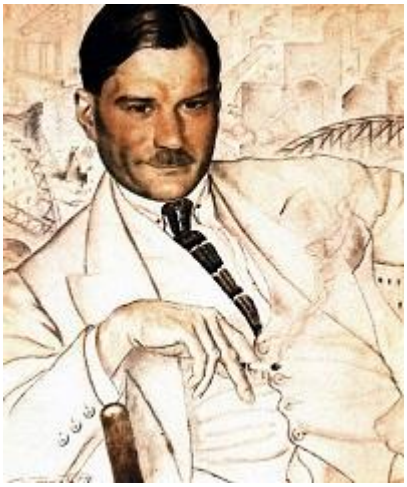
И спеша родил стихотворенье:

"У поэта умерла жена".[61]

<1909>

Евгений Замятин

Справочный материал



Евгений Иванович Замятин (1884-1937) - российский писатель. Идти по линии наибольшего сопротивления было жизненным и творческим кредо Замятина. Инженер-кораблестроитель по образованию, он стал художником особенным, удивительным. Любимым писателем с детства был Н. В. Гоголь. Влияние Гоголя отчетливо проявилось впоследствии в ответе Замятина на анкету: "Явилась у меня склонность к шаржу, гротеску, к синтезу фантастики и реальности".

В 1916 году выходит первая книга произведений Замятина. "Уездное. Повести и рассказы". Критика заговорила о рождении нового таланта. В повестях и рассказах ("На куличках", "Уездное", "Непутевый") обнаружились признаки синтеза типизации и некоторых приемов символизма (особое внимание к использованию звуковых и красочных лейтмотивов, словесный и образный парадокс). Художественное обоснование принципов "неореалистической" прозы, рожденной сдвигом привычных социальных и нравственных норм действительности, Замятин предпринимает в дилогии "Островитяне" (1918) и "Ловец человеков" (1921), созданной от впечатления пребывания в Англии, куда писатель был прикомандирован для наблюдения за постройкой судов для России. В дилогии Замятин дал резкие сатирические оценки социальному прожектерству, рецептам "спасения" человечества религиозным морализаторством.

Октябрьская революция воспринималась Замятиным как торжество насилия; его настроение в 1917-1918 годах созвучно тону "Несвоевременных мыслей" Максима Горького. Этого

[61] Саша Черный. Стихотворения.Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд . Ленинград, "Советский писатель", 1960.

Замятину не мог простить и сам Сталин, не сумевший "угомонить" писателя, когда Замятин сказал вождю, что "привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой" (1931), определяет его позицию человека и гражданина.

В послереволюционные годы он читает лекции по новейшей русской литературе, сотрудничает с Горьким во "Всемирной литературе", в комитете Дома литераторов и т. д. В лекциях Замятин излагает свою эстетическую позицию, формулирует принципы "неореализма". Самое значительное произведение Замятина роман-антиутопия "Мы" (1920), запрещенный к изданию, но ставший известным по спискам, был опубликован в России только в 1988 году. Появление этого романа обозначило рождение нового жанра в русской литературе, жанра мистического, выразившего в парадоксальном соединении памфлета, научной статьи и авантюрного романа ненависть Замятина к грядущей эпохе тоталитаризма и обезличивания сознания.

После 1929 года Замятина перестают печатать. С помощью Горького он уезжает в октябре 1931 года за границу. Но эмигрантом он себя не считал, гражданства не менял и жил в надежде при первой возможности вернуться домой.

Алатырь[62]

1. ОТ ГРИБОВ ПРИНАСЛЕДНО

На том самом месте, где раньше грибы несчетно сидели кругом алатыря-камня,-- тут нынче город осел.

И у жителей тех, видимо, дело -- от грибов принаследно, пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел указ -- по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изобилии ползающих по травке.

Так бы и впредь под благословением Божиим городу жить, да вышло такое дело: царь турецкий войною пошел. Народу побили видимо-невидимо. Приехал тут из губернии начальник и строго-настрого приказал: через год -- была чтоб тыща младенцев, и больше никаких. Потому -- война.

Алатырцы не выдали: поставили тыщу, да с гаком еще. А начальник-то -- возьми да и похвали:

-- Богатыри! Исполать, мол, вам.

Ну, с глазу, конечно, и съел. Перестали в Алатыре мужние жены детей приносить. А еще того хуже: как вот рыба в реке переводится -- так перевелись в Алатыре все женихи. И пошло, и пошло неплодие.

Срам обуял неслыханный: вековуши -- в Алатыре, а? Сроду того не бывало. И не то чтобы как, а и в самых в первых домах; у протопопа соборного -- раз, у Родивона Родивоныча у инспектора -- два, у исправника... Уж на что исправник сам, и у него на руках -- Глафира.

---

[62] Е. И. Замятин; Избранные произведения в двух томах; Том первый. Изд-во: "Художественная литература", Москва, 1990.

А ведь только поглядеть на Глафиру: ростом высошенька, волос русый, глаз сверкучий, вся наливная -- как спелая рожь. На рояле Глафира может: Касту Диву, Дунайские волны. И такая, поди ж ты, немужней осталась, не нынче завтра начнет осыпаться.

Целый день в исправницком доме кукушкой кукует гулко тоска. А чуть засинеет вечер -- Глафира к окну: напротив, через дорогу, номера для приезжающих купца Агаркова -- не загорится ли там огонек?

Будто -- загорелся. Горбоносый, сел кто-то к столу писать. Завтра утром, чуть свет, к Глафире в окошко постучит половой из номеров: "От барина -- вам письмо..."

И жарко живет Глафира всю ночь. Утром -- нету письма. Ну, что ж, стало быть, завтра принесут.

Долго ли, коротко ли, но только в одно воскресное утро -- из номеров половой и впрямь заявился с письмом. Запершись в светелке своей, разорвала Глафира конверт

"Милостивая государыня. Зная вашу красоту и любезность, осмелюсь предложить вам..."

Руки затряслись, буквы запрыгали от радости.

"...наилучшую рисовую пудру, а также спермацетовые личные утиральники..."

В тот день Глафира к обеду вниз не сошла: заперлась в своей светелке, просидела весь день. Вечером в столовой уставилась -- и битый час, как пришитая, глядела в клетку с кенарем и с кенаркой (выписал ей исправник из Москвы специально). Глядела, глядела, да вдруг как схватит клетку-то эту, да об пол ка-ак шваркнет: от кенаря с кенаркой только мокро осталось. А уж когда ей исправник слово сказал, что, мол, этак нельзя с подарками, она так раскричалась, растопалась -- еле исправник ноги унес.

Исправник с исправничихой держали совет: что такое с Глафирой? С чего девка сбесилась?

-- Эка штука, пудры ей предложили. Разве это инцидент? -- удивлялся исправник. И все свои брюки подтягивал, все подтягивал: это всегда было у исправника знаком душевного волнения.

А брюки носил исправник, на вате стеганные простудлив был очень, сложения слабого -- замухрыш одно слово. Зато уж исправничиха -- женщина росту серьезного, бурудастая, грудастая, а глас у ней -- трубный. Как крикнет на мужа, трубным-то гласом

-- Да ты что там мямлишь? Инцыдент, инцыдент. Какой ты есть градоначальник, ежели, как дочь свою пристроить, не изобретешь?

Подумал-подумал Иван Макарыч -- и, видно, придумал что-то: наверх, на исправничиху, поглядел этак гордо.

-- Я-то? Не изобрету? Очень даже просто: надо Глафирочку на службу определить. С ритуальной, так сказать, целью. Поняла?

Почесала исправничиха в голове спицей. -- А и верно, глядишь. Ума ты палата, Иван Макарыч.

Сказано -- сделано. Ходит Глафира на телеграф, год и другой. А к ритуальной цели -- ни на шаг. Хоть бы так, для виду, кто приволокнулся: никого.

Тут Иван Макарыч рукой махнул на Глафиру, на все -- и в кабинет заперся. Уж если по правде -- так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. Незабвенные часы тут проводил Иван Макарыч, здесь возникали все великие и многочисленные его изобретения: состав для полнейшей замены дров в безлесных местах; тайна приготовлять не уступающий настоящему искусственный мрамор; особливый способ домашним путем производить отменные стекла для зрительных труб. И наконец, это многообещающее открытие последних дней: секрет печь хлебы не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего хлебы будут вкуснейшие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной откопал исправник этот секрет -- и взялся за дело.

Иван Макарыч так полагал: делать -- так уж делать на широкую руку, а не то чтобы там. Задешево, по случаю, приобрел восемнадцать пудов муки. А там -- пекаря свои, даровые: арестанты из острога. Голубиный -- не покупать этот самый...

-- Пеки, ребята, сыпь в мою голову!

Пекли калачи, пекли. Таскали арестанты, таскали. Сперва в кабинет. Кабинет завалили, вылезли в зал, под рояль, на рояль. А кругом калачей Иван Макарыч гоголем ходит.

В ту пору исправничиха на богомолье была, у Стефана Болящего, у прозорливца. Вернулась, калачи увидала, да как взъестся, трубным-то гласом:

-- Да, Господи-батюшко! Придумал ведь тоже: на голубином! Весь дом напоганил теперь...

-- Да ты -- на, отведай сперва, а потом толкуй.

-- Чтобы я -- да этакую погань? Да избави меня Бог, я еще в своем уме. И завтра же чтоб было чисто, хоть за окно. А то... знаешь?

Знал Иван Макарыч. Загорюнился, жалко нещечко-то свое кидать вон. Эх, как бы это... Подтянул исправник свои ватные брюки раз и другой.

-- Бба-а! А Потифориха-то? А ну, Кошкарев, доставь.

Торговала на базаре Потифорна, Псалтырь читала, всякую боль заговаривала: от грызи, от срыву, от свербежа, от сглазу, от всего облегчить могла на все руки. На отшибе, в завалящем проулке, разыскали Потифорну и мигом представили перед исправника. Отмахнула Потифорна поясной поклон: зачем, мол, понадобилась?

-- Да что, Потифорна, с докукой к тебе. Калачи, вот видишь? Возьмись-ка на базаре, продай, а уж я...

-- И-и, отец, нам ли тебе не служить? Только молви.

Петр-Павел рябинник минул, пошли уж студеные утренники. Взяла с собой на базар Потифорна с угольем теплым горшочек и, сидя на том горшочке, торговала три пятницы калачом.

-- Э-эх, калачи хороши -- для спасения души, по-осненькие!

Рядом слепец, с деревянной баклушей, свою присказку ведет:

-- Пр-равославные христианушки, от роду-рода-ро-дов, от веку-века веков, солнца кра-асного...

А зипун -- чередом идет, кто с новой дугой, кто с лыком, кто с поросенком -- дешевый калач закупать.

Через три пятницы пришла Потифорна к исправнику.

-- Так, мол, и так, расторговалась вашей милости калачами, ни одного не осталось.

Иван Макарыч уж вот как доволен: не для-ради денег, а для-ради чести своей пред исправничихой.

-- Ну, Потифорна, проси, чего хочешь, так ты меня ублажила.

-- Уж коли милость твоя такая, так нельзя ли, отец, Костюньку мово в люди бы вывесть? В чиновники то есть. Хороший он малый, да только вот...

-- Что -- только?

-- К сочинениям пристрастен. Сочинения, батюшка, все сочиняет, и день -- и ночь, и сидит -- и сидит, уж такое мне горе. Да вот, глянь-ка, милостивец.

Покопалась за пазухой, вытащила Потифорна прошение, сочиненное Костюней на случай неизвестного благодетеля.

-- Мм... да, скоропись хорошая,-- поглядел исправник.

"Прошение. Я обладаю естественной любознательностью ко всему ученому миру, в связи чего решил подготовить себя к литературной службе. И просьба к помощи, в виду неимения аванса прямо посещать училищную скамью.

Моя краткая биография из жизни: я воспитан в кругу нежных забот единственной матери, но не могу отплатить ей тем же, и хотя бы к старости лет ей пожить развязно.

Вот прискорбный факт покинутых сирот. Подпись: Константин Едыткин".

Походил исправник, подумал. Прошение -- ничего, забористое, надо бы малого устроить, как-нибудь надо бы...

-- Ну, а что, например, ежели мы его на телеграфиста приготовим, а? Глафира моя -- она ведь по этой части.

-- На телеграфиста? На чиновника? -- затряслась Потифорна.

-- Ну да, на чино...

И кончить исправник слова не успел, как Потифорна в ноги -- кувырь. Только и видать: пучочек седых волос на затылке да куча старушечьего темного платья. Искусница Потифорна -- поклоны бить.

2. КОШКА МИЛКА ИСПРАВНИЦКАЯ

Поутру на Покров нашлась кошка Милка исправницкая. Теперь лежала белая Милка в Глафириной комнатушке на антресолях, лежала -- и молоком кормила своих четырех младенцев. Мурлыкала, жмурилась, вся извивалась белая Милка, сладко терзаемая четверкой розовых ртов.

Так это пронзило Глафиру, так замолилась, вся нецелованная, так запросила грудь касаний нежного рта, что хоть на стену лезь. А стены -- гладкие, нет ни сучка, ухватиться не за что.

И вдруг нашла, ухватилась: вспомнила -- толковал вчера исправник про какого-то Костю. Господи, может, Костя этот самый... Загорелось -- сейчас же, сию же минуту туда поехать.

Для праздника, для Покрова, последний раз грело солнце. В завалящем проулке мирно купались куры в кучах назолу. Потифорна пред окошком читала акафист Пресвятей Богородице.

И вот -- неслыханное дело -- загремел тарантас в проулке. Ахнули куры, брызнули из-под копыт, акафист полетел на пол со страху.

"Батюшки, барышня исправникова! А дом не прибрат, а Коська -- обормот чистый..." -- кинулась Потифорна к Косте с новым пинжаком.

-- Да руки-то, оголтень, тьфу... Руки-то суй скорей! И, обернувшись к двери,-- соловьем тотчас же:

-- Ма-атушка-барышня! Радость-то нам какая нынче для Покрова... Костюня, да кланяйся же!

Длинный, как скворешня, Костя нескладно поклонился, на жалостно-тонкой шее болтнулась большая голова. Был он похож на только что вынутого из яйца цыпленка: такие же они бывают длинношеие, все к костям прилипло, и качаются.

"Нет, не он..." -- в тоске еще пущей заметалась Глафира около гладких стен. Мелькало в глазах засиженное мухами, как будто небритое море. Мелькал в глазах верхом на белой лошади генерал, разрезанный пополам, как яблоко.

Потифорна совала Глафире в руки какую-то баночку.

-- Кофий это, барышня, кофий. Вот сейчас заварю. Пять лет берегла для гостя дорогого, вот погляди-ка сама, какой кофий-то... В Воронеже покупала, где Митрофаний-угодник.

Взяла Глафира баночку. Был на баночке белый лев, похожий на кошку Милку, и какая-то надпись. Невидящими глазами читала Глафира надпись. И раз, и другой, и еще прочитала вслух:

"Сей кофий, по приятности, подобен ливанскому. Но может быть употребляем как настоящий".

И так это Глафире показалось нестерпимо, жигуче смешно, что закатилась -- засмеялась -- заихала -- полились слезы, и сквозь слезы кричала:

-- Кофий, л-ле... лев... Кошка Милка... Милка, Милка моя!

Потифорна тряслась, разливала воду из стакана Глафире на колени. А Костя во всю ширь раскрыл голубые глаза и не чуял, что выкатилась слезинка, повисла светлой каплей на кончике носа. Отдал -- все бы отдал теперь -- только бы она перестала надрываться, только бы унять ее слезы.

В своем сундучке, под замком, уж два года Костя целомудренно берег тетрадку: ни один живой глаз ее не видал. Была тетрадка озаглавлена: "Сочинения Константина Едыткина, то есть Мои".

И теперь пришел час: без малейших колебаний -- так было надо -- Костя пошел, вынул тетрадку и положил на колени Глафире... Только бы перестала, только бы утешилась!

И правда: увидала Глафира заглавие -- улыбнулась.

Заниматься к барышне исправниковой Костя ходил по вечерам -- с шести. У Потифорны часы -- Бог их знает: с той поры, как для лучшего ходу был привязан к гире старый утюг -- что-то стали часы лукавить. И так выходило, что Костя до сроку забирался задолго.

-- Барышня кушают чай, погоди мало-мале.

В темной прихожей садился Костя на стул. Шепотком повторял про себя урок. Кухарка тащила мимо Кости в кухню ведерный самовар. Темным слоном влезала в прихожую исправничиха. Шарила шубейку на стене -- в сени надо выйти -- во тьме руками натыкалась на Костю.

-- Тьфу-тьфу-тьфу! Сгинь, окаянный, сгинь! Да это ты! Ух, провались ты совсем... Ну иди ж, иди, Фирочка чай отпила.

Костя светлел и лез наверх, в Глафирину светелку.

-- Ну? -- говорила Глафира сердито, сидя перед зеркалом, к Косте спиной.

Недавно Глафира открыла: стала у ней борода расти, может, только ей одной и заметные золотые волоски. Плохой это знак: немножко еще, может год, может месяц -- и начнут вянуть груди, вся начнет осыпаться, и никогда не узнает того, что знала счастливая кошка Милка.

С сердцем Глафира выстригала по одному волоску, а Костя тачал -- от сих и до сих. Все уроки он знал назубок, зубрил день и ночь -- только чтоб она кивнула головой: хорошо, мол.

И все же один раз было: Костя не мог ответить урока, стоял, как немырь, с покорной улыбкой. В тот раз Глафира торопилась в гости. В одном лифе, сидя перед зеркалом, закладывала старинную прическу: венком на голове -- круг русой косы. Держала шпильки в зубах -- с сердцем проговорила сквозь шпильки:

-- Вше равно, шкажите, пушть идет, отвечает. А то некогда будет.

Костя вошел -- и свету невзвидел. Зажмурил глаза и тотчас же не стерпел -- открыл. Опять: кружева и розово-нежное что-то, такое, что... Сердце зазябло у Кости, заныло, забыл все слова.

-- Некогда тут, а он как...-- оглянулась Глафира, хотела прикрикнуть и -- рассмеялась. Поняла.

-- Подержите мне, Костя, зеркало. Так. А теперь вот сюда. Так. Ну, спасибо, довольно. Довольно же, ну?

Зеркало ходуном ходило. Костя молчал, а рот был растворен все той же, его покорной от века, улыбкой.

Назначили Косте экзамен наране Успенья. Жарынь стояла. Мух развелось невесть сколько. Старушку одну -- не владела она руками -- так изжиляли, что ума решилась старушка.

Трудно было заниматься Косте. Весь иссиделся -- как вот, бывает, иссидится наседка: выйдет из лукошка -- и шагу ступить не может. Веснушками Костя зацвел, голова стала еще больше, обрезался озябший носик.

-- Что, молодой человек, похудал? Какая такая заела болезнь? -- увидал как-то Костю исправник.

-- Эк-экзамен,-- покорно улыбнулся Костя.

-- Э-э, вот оно что! Ну не робей: я сам с почтмейстером потолкую...

Поехал Иван Макарыч к почтмейстеру. Почтмейстер -- старикан трухлявый. К новому году выходит в отставку. Из носу сыплет табак -- на бумаги, на письма; все уж кличет уменьшительно: очечки, телеграммочка, книжечка разносненькая. Такого Ивану Макарычу улестить -- велико ли дело? И улестил.

Скор и милостив был Косте экзамен. И часу не прошло -- вышел Костя светел, что новенький месяц. Вернулся домой -- в фуражке с желтым кантом, в новой форменной тужурке.

Увидала Потифорна чиновником Костю -- в голос как взвоет да в землю -- кувырь:

-- Сергей Радонеж... угодники вы мои-и! Да разразите же вы меня-а! Чем я вам теперь отплачу-то за Коську?

3. КНЯЗЬ

Бывает, что хозяйка слишком любезная -- в стакан чаю набутит сахару кусков этак пять: инда поперхнешься от сладости. Так вот и дворянин Иван Павлыч: лицо имел приятное, очень приятное, приятности -- все пять кусков. Ходил Иван Павлыч в верблюжьей рыжей поддевке, в сапогах высоких, при часах французского золота с толстой цепочкой. И как Иван Павлыч первым всегда все знал, то принимали его алатырцы именитые очень охотно: тем и кормился.

Теперь проживал Иван Павлыч временно (третий месяц) у отца Петра, протопопа соборного. Очень полюбил протопоп Ивана Павлыча. Каждый день после обеда садились они на диван, именуемый Чермное Море.

-- Ну, Иван Павлыч, давай, брат, опять поговорим отвлеченно.

Отвлеченно -- про дьявола, стало быть. По этой части протопоп был мастак. Будучи в академии еще, составил книгу: "О житии и пропитании диаволов". Ту книгу Иван Павлыч усердно прочитал.

-- ...А по мне, ваше преподобие, самые благочестивые -- болотные черти, потому -- семейно живут, не-блудно и в муках рожают детей,-- заведет Иван Павлыч умильно.

-- А-а-а, это хохлики называемые? -- обрадуется протопоп, глаза заблестят.-- Шу-устрые этакие, знаю, у-ух!..-- И видимо, знает досконально: даже покажет, какого хохлики росту. И пойдет, и пойдет про хохликов: Ивану Павлычу -- только слушай.

Нынче Иван Павлыч огорчил протопопа: поговорить отвлеченно не захотел, вот приспичило ему тотчас после обеда к исправнику бежать по какой-то экстренной надобности.

-- Ну, что еще за экстра такая? -- поглядел сердито исправник: занимался он в кабинете изобретениями -- оторвал его Иван Павлыч.

Дворянин Иван Павлыч в руке держал книжку, вроде паспортной, что ли. Нагнулся к исправникову уху

-- Почтмейстер-то новый... в агарковских номерах.

-- Э-е, ну тебя! Это я вчера еще знал.

-- Да нет, Иван Макарыч, я не про то. Прописался почтмейстер-то -- и представьте... Да что там, вот сами поглядите.

Взял паспорт исправник -- обмер: почтмейстер-то новый... князь. Форменный! Князь Вадбольский, женат, разведен, и княгиня проживает в городе Сапожке, при отце своем протоиерее... Хотел исправник спросить что-то, не то про паспорт, откуда Князев паспорт достал Иван Павлыч, не то еще что -- и не мог от страху.

Ухмыльнулся Иван Павлыч предовольно -- и от исправника дальше погнал резвым игрень-конем. Через час все в Алатыре знали про князя-почтмейстера. Вышло волнение великое. Ночь мало кто спал.

"Ежели наш князь разведен и в сам-деле, то ведь... Марьюшка-то наша"...-- такие тут вершины мысленные отверзались, что куда уж там спать.

Наутро у почты -- длинный черед: вдруг всем загорелось марки покупать. Пронзенный десятками девьих взоров -- князь шелохнуться боялся. Шелестел шепот, вился около князя:

-- Вид-то благородный какой! Печать-то прикладывает как, а?

-- Нет, ты глянь: подбородок-то...

А и верно: в подбородке -- вся соль. Так -- лицо как лицо. Скуластое, желтое, с зализами лоб, но подбородок...

Очень, конечно, странно -- но подбородка у князя нет и в завете: губы, усы, а потом прямо -- юрк под галстук, как будто оно так и надо. И давало это князю вид какой-то прищуренный, даже, сказать бы, коварный.

Мясоедом прошел слух: по утрам стал являться князь на базаре с кошелкой. Будто вот просто как все, ходил с кошелкой вокруг капустных вилков, веников из Мурома, наваги мороженой. Нет, тут что-то не так...

-- Ходил-то, ходил. Нет, а ты вот скажи, что он купил на базаре? -- добивался исправник.

-- Гм, купил? Как будто ничего не купил.

-- Вот то-то и оно: ничего...-- Исправник торжествовал.-- Не затем он и ходил, не покупать ходил, а слушать, да. Слушать, понял?

Слушать? Нет, видно, недаром у князя подбородок такой...

Опять без свадеб кончился мясоед. Колеи зажелтелись, затлели. Надсаживалось воронье по заборам, теплынь выкликало. Звонила капель. Пожаловала честная масленица в Алатырь.

У исправничихи -- полон рот хлопот: завтра князь-почтмейстер к исправнику зван на блины, князя умеючи надо принять. С чем-то князья блины кушают? Неуж, как и мы, грешные, с маслом с топленым, с яйцом, со сметаной, с припекой, с снетком? Нет уж, для верности -- надо бы сведущих людей спросить.

-- Вот что, Иван Макарыч. Ступай-ка ты к Родивону Родивонычу сейчас и все у него прознай, он человек ведь придворный. Да зови его на блины: разговаривать-то князя кто будет? Да вертайся скорей... а то -- знаешь?

Исправнику хуже этой горькой редьки -- ехать к Родивону Родивонычу. С того самого года, как получил Родивон Родивоныч портрет и собственноручное письмо -- зазнался так, что житья с ним нет. И все ладит -- в соборе чтоб раньше исправника к кресту подскочить. Этакой ведь фуфырь!

Смахивал Родивон Родивоныч на старого кочета, и сноровка такая же: все наскакивал.

-- Сме-та-на? -- на исправника так и наскочил, даже попятился Иван Макарыч.-- Про сметану и думать не могите. Фидон1: сметана. Исключительно: зернистая икра. А на ужин: бульон, свинья-соус-пикан... и вообще все легкое и французское.

Блины были в четверг. Из гостей был только князь да еще Родивон Родивоныч, инспектор. А то все свои. Константин Захарыч-то? Костя-то? Ну-у, он за гостя нейдет: каждый день шляется -- какой уж там гость.

Костя сидел на самом конце стола, где стояли запасные тарелки. Выйдет блин неудачлив -- с дырой, пузырем, без румянца -- сейчас его Глафира сунет Косте:

-- Ешьте, ну? Живо...

Костя брал, чуть касался ее руки, проколотый сладкой болью -- хоронился в тарелку, без счету, всухомятку глотал блины...

Исправник -- сидел рядом с князем, погибал: надо было ему с князем разговор начать -- и хоть бы одно проклятое навернулось слово! Всех высоких лиц исправник робел, а этот еще и какой-то прищуренный.

Молчал и князь. Все почтительно глядели на особенный его подбородок -- и никто не видел растерянных Князевых глаз.

_____

1 От фр. Fi donc.

...Князь глазами набрел, наконец, на исправников серебряный погон -- и пальцем ткнул радостно.

-- А-а у меня вот тоже...

-- Ага, да-да-да, так, так,-- закивал, засиял исправник.

-- ...у брата, то есть. Брат в Москве приставом, четыре тыщи в год, без доходов. Пауза. Исправник тонул.

-- Кстати: я вот, знаете, изобрел из голубиного...-- начал -- и сейчас же осекся Иван Макарыч, поймав грозный исправничихин взгляд.

-- Лучше уж, батюшка, ты -- Родивон Родивоныч, князю расскажи, как получил письмо-то собственноручное.

Родивон Родивоныч -- хозяйке поклонился придворно.

-- Да, собственно, не стоит... Был я на выставке нижегородской. Как человек культурный... Проезд ведь от нас -- два рубли двадцать. Хожу, значит, все очень прекрасно, одним словом, ком са1. Вдруг -- генерал. Косу взяли поглядеть -- и по пальчику: чик. Ну, значит, кровь. А я -- человек в дороге запасливый, ваше си-яссь... Вынул из кармана: не угодно ли, генерал, коллодию? А генерал-то был не простой, а можно сказать -- вы-со-кая особа! Да вот, ваше сиясс, письмо-то оказалось при мне слу... случайно...

Прищуренно князь читал... Глядела на него Глафира -- никак понять не могла: да что же, да что же в этом лице знакомое -- да нет, не знакомое даже, а вот такое...

С восьми часов вечера начался съезд: везли дочерей -- танцевать с князем-почтмейстером. Какой-то попуганой зверушкой шмыгнул в уголок отец Петр, протопоп: мохнатенький, маленький, как домовой. За отцом, в шелковом черном, гордо прошла Варвара-протопоповна. Торчали черно-синие космы: прибирать волос не умела -- глядела Варвара ведьмой. Обнявшись, загуляли по залу восемь штук Родивон-Родивонычевых. Сел за рояль дворянин Иван Павлыч -- все в той же верблюжьей рыжей поддевке. Заиграл -- и зацвела, завертелась вся зала.

Князь один стоял у печки, немножко боком. И на белом кафеле было так четко лицо, коварное, без подбородка, нос с чуть заметной горбинкой...

_____

1 От фр. comme ca.

-- Горбоносый! -- чуть не крикнула вслух Глафира. Бросилась к князю. Тяжело дыша, крепко стиснула Князеву руку -- будто после долгой разлуки встретились наконец.

Глафира танцевала с князем, блаженно закрыла глаза. На стульях у стен девья орава -- завидущая -- шелестела, шептала. Ласково-зло улыбалась Варвара-протопоповна.

-- Князь,-- наскакивал Родивон Родивоныч, как кочет,-- с вами хотят быть знакомы... мои, вот... восемь,-- конфузливо кончал он, очень стеснялся восьми: человек он почти что придворный, и вдруг -- восемь!

Падал князь, огорошенный градом девьих имен, и к одной -- счастливице -- наклонялся:

-- Угодно вам вальс?

Танцуя, князь наступил на хвост своей даме. Пришлось выйти из круга -- как раз это случилось у рояля, и вострым своим ухом услыхал Иван Павлыч конец разговора:

-- ...Одеколоны -- вот это я очень уважаю. Цикламен вот, и еще... как бишь? Корило... корилоспис,-- с трудом вспомнил князь.

К ужину все доподлинно было известно: что князь -- развратник, у него -- одеколоны, и вообще -- человек он темный.

-- По-ми-луй-те? Гонял с девками целый вечер... что-о ж это? -- с попреком качались седые букли. Зато -- девицы в восторге:

-- Семь одеколонов, и на всякий день -- свой... Уж видать: настоящий декадент (произносится: дъкадънт).

За ужином, после свиньи-соус-пикан, исправник выпил сантуринского, посмелел и, твердо глядя князю в глаза, произнес, наконец:

-- Кстати -- я изобрел отменно дешевый способ производить хлеб...

Князь задумчиво поглядел на Ивана Макарыча.

-- Но что все изобретения для народов, покуда не будет у них общего языка?

Сказано это было раздельно и твердо. Все разинули рты: языка-а? Ка-ак? И окончательно утвердилась таинственность князя.

За ужином рядом с Глафирой -- сидела Варвара. Обнимала Глафиру за талию, ласково-злыми глазами глядела, медовые речи вела.

А когда у себя в светелке Глафира стала раздеваться на ночь -- на кисейном платье увидала сзади дыру: выхвачен ножницами изрядный косяк. Сразу смекнула Глафира кто. Сердце зашлось от злости на Варвару. Может, оттого и заснуть никак не могла.

Встала. Приложила к стеклу к холодному лоб. Напротив, через площадь, в агарковских номерах, в окне теплел огонек. Схватила бинокль, прильнула -- и вся заколыхалась под тонким мадаполамом, как рожь от ветра: у стола, раздетый, сидел князь, писал. Но что же, что? Ночью, в три часа... Наверное, завтра придет из номеров половой...

Князь писал письмо в город Сапожок. В правом углу на бумаге была вытеснена коронка.

"Милая Лена. У меня от подъемных еще остался 21 ру. Не надо ли тебе? Потому что здесь -- жизнь очень простая, яйца лутшие -- 18 копеек, я скучаю и мне денег не надо. Кланяйся Васи, я сердца на него не имею, лишь бы ты была счаслива".

4. МОЛИТВЫ

Костя за ужином не был. Исправничиха ему сказала:

-- Константин Захарыч, ты у нас свой человек... Не прогневайся уж, стульев нехватка.

На нет -- нет и суда. Костя не обиделся. Жалко только было отрываться от Глафиры: нынче Глафира -- в белом платье -- была совсем замечательная, прямо вот... божеская. Ну, тоже и князь, еще бы на него поглядеть.

Каждое мание князя -- нравилось Косте, каждое слово его ловил. А когда услышал про одеколоны его -- тут Костя уж совсем восторгнулся, закипели стихи в голове.

Пришел Костя домой -- первым делом к укладке, вынул тетрадь -- и сразу, с присеста, напечатлел:

Наш новый господин почместер,

Замечательный человек.

А по мне раз в десять

Умнее тут всех

И когда мне представлялся,

То мне рукопожал.

Я восхищался

И навек его уважал.

Потифорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила огонь в печке, первый, румяный, блин полила маслом, поставила Косте. Стал было Костя некаться: сыт уж, довольно.

-- Господи-батюшка, уж теперь и лопать не хочет у матери у родной. Загордился уж, а? А не я ли тебя, поганца, и в люди-то, в чиновники вывела, а?

Не сговорить с маманей. С покорной улыбкой -- Костя снова ел блины, без счету: кипели еще стихи в голове -- до счету ли тут было?

А наутро -- катался по полу Костя, помирал животом. На почту не пошел: куда уж. И все хуже да хуже.

К прощеному дню -- Костя обрезался, совсем посинел. Потифорна на своем веку покойников без числа поглядела, глаз наметался. С базара пришла, увидала Костю такого -- как взвоет. Да скорей за отцом Петром: хоть бы христианской кончиной-то помер Коська.

Пока Потифорна ходила -- Костя лежал один. Умирало сердце. В окно -- бабочкой нежной билась заря. Где-то звонили, над завалящим проулком колокол плыл -- печальный, как лебедь. В какую-то секунду Костя понял, что конец и что надо -- нужнее жизни -- увидеть Глафиру и сказать ей все.

Потифорна вернулась одна, отца Петра не застала дома. И тотчас строгим шепотом Костя велел мамане сбегать к исправнику и позвать Глафиру.

Пошла Потифорна, как не пойти. Пошла, хоть и кропталась, утирая слезы: нет бы за доктором или за попом, а он за вертихвосткой за этой посылает!

И когда возле себя увидел Костя ее -- Глафиру, единую, божескую,-- сдвинулся в нем какой-то столетний камень, и забил из-под камня из самой глуби хрустальный ключ: всего напоил, утишил, исполнил. Тихонько взял Костя Глафирину сладкую руку:

-- Теперь... я должен сказать... Помираю, блинов объелся. И теперь вот... Нет, не могу я про это сказать словесно!

От жалости вся сморщившись, Глафира сказала:

-- Ну, что вы, Костя, зачем? Вы ведь знаете, что я вас тоже... зачем говорить...

Костя улыбнулся прозрачно-покорно: теперь -- хорошо помереть. Туман... Туманом заволокло Глафиру, последней ушла она от Кости. Конец, тихо все, сладко -- и если б только маманя не брызгала в лицо водой... Но Потифорна все брызгала: Костя открыл глаза еще раз...

Так бы, может, Костя и помер, да втесался тут отец Петр -- с баклановкой со своей: баклановка у него была -- ото всех болезней помога. В баклановке первое -- конечно, водка, всем лекарствам мать; а в водку -- красный сургуч толченый положен, да корень-калган, да перцу индейского красного же, да еще кой-чего, что берег в секрете отец Петр.

С баклановки ли с этой огневой или просто с радости великой -- стал Костя живеть помалу. На Крестопоклонной встал с постели: еще ветром качало, зеленый, длинный -- скворешня живая; Костин озябший носик -- усох, стал еще меньше, еще жалостней.

Потифорна первым делом Костю поперла к отцу Петру, благодарить за баклановку.

-- Ну-ну-ну, чего еще там,-- замахал отец Петр на Костю.-- Поговей постом -- вот и все. Ну-ну, иди с Богом.

Протопоп сидел в углу -- усталый, после обедни постовской; мохнатенький, темный -- в угол забился. Несть числа у него в соборе говельщиков было. Кликали колокола целый день, шел тучей народ. С любострастием вспоминали все мелочи куриных грехов; медленный, мешкотный шепот в уши лез без конца.

Уходил протопоп из собора -- будто медом обмазан и вывалян весь в пуху: мешает, пристало по всему телу. Одно только спасенье было: придя домой -- выпить рюмку баклановки.

Перво-наперво после той рюмки -- пойдет тончайший туманец в глазах, и все денное, налипшее, гинет. Тихо -- не спугнуть бы -- пригнувшись, сидит отец Петр. А протрет глаза -- и уж ясно видит, настояще, яснее в сто крат, чем днем.

Тотчас за окном -- веселая козья морда кивает:

-- Здравствуй.

-- Ну, здравствуй, ишь ты нынче какой!

В таком виде -- любит их отец Петр. Вот если они принимают человечий зрак -- нашей одежи не любят они, больше все голяшом -- ну, тогда уж...

Приятную беседу с козьей мордой ведет отец Петр, пока не заслышит: Варвара идет. Тот -- дирака, конечно: в одноножку, в прискочку, как малые ребята бегают. И видно отцу Петру: тряско подскакивает левое его плечо на бегу.

А голова у протопопа работает ясно-преясно:

-- Не от рюмки же это, всякому видно: дело не в рюмке.

Когда подходила Варвара -- глаз не открывая спрашивал протопоп:

-- Это ты, Собачея? -- и явственно видел у Варвары зубы -- злые, собачьи, черно-синюю шерсть.

-- Что же мне с тобою делать? Опять ты? -- кричала Собачея злая, кусала отца Петра: в руки, преимущественно, и в ляжки.

Наутро, за чаем, заплаканная -- говорила:

-- Какая я тебе Собачея? Ты что на меня возводишь?

Засучивал рукав отец Петр и показывал на руке:

-- А это, а это -- что?

И глядит -- не глядит Варвара, заладила свое:

-- Знать ничего не хочу, к доктору надо тебя.

-- К доктору, хм... Нет, тут доктор не сведущ.

В Великий Четверг -- Варвара в лотке купалась на кухне, Иван Павлыч по городу шлындал, отец Петр сидел один.

И опять -- тот же самый пришел, коземордыи, и никто уже не мешал: всласть наговорился отец Петр. Очень интересные вещи рассказал коземордыи, и между прочим, что у них уж начинает распространяться истинная вера и уж он, коземордыи, по истинной вере пошел.

Так протопоп обрадовался -- просто нету и слов. Вечером, на стоянии, между евангелий, все думал протопоп:

"Ну, слава Богу, истинная вера пошла и там. А то жалко их было -- беда..." -- радостно бил протопоп поклоны за истинную веру.

И еще одна в соборе курилась к Богу радостная молитва: Кости Едыткина. Благодарил он за все огулом: и за то, что сподобился он таланта -- стихи писать; и за чин четырнадцатого класса; и самое главное -- за то, что он стоял сейчас рядом с Глафирой.

В соборе свет, свечи у всех. Протопоп вычитывает Страсти не спеша, истово. Костя в новой тужурке, сердце полно. Глаза опустив, сладко видеть Глафирину милую руку; наклеивать, как и она, метинки на свече -- Евангельям счет; уколоться украдкой о теплый локоть...

От стояния несли домой четверговый огонь. Людей в теми не видать -- только огоньки текут. Вот уж в заречье -- свернули в проулки -- загасли. Тихо.

Костя прикрывал свечу фуражкой. На росстани трех переулков взглянул на Глафиру, все забыл, забыл про свечу -- и задуло ветром огонь.

Попросил огня у Глафиры. Дрожали руки, долго не мог попасть. И когда, наконец, зажег -- сладко сжалось сердце у Кости: предвещаньем каким-то, навек нерушимым, было соединение их свечей. И огненному знаку так крепко поверил Костя, что, нагнувшись к Глафире, спросил:

-- А когда же... свадьба?

Раздумчиво поглядела Глафира куда-то мимо Кости, ничего не сказала.

5. ВЕЛИКИЙ ЯЗЫК

Дворянин Иван Павлыч -- стал у князя доверенным человеком: от Ивана Павлыча и пошел тот слух, что на Пасхе объявит князь свою тайну и всех пригласит.

-- Да к чему пригласит-то?

-- А вот, погодите маленько, все объяснится,-- с ехидной приятностью отвечал Иван Павлыч.

Еле дождались Пасхи. День выпал на славу. С утра сусальным золотом солнце покрыло Алатырь -- стал город -- как престольный образ. Красный трезвон бренчал серебром весь день. Веселая зелень трав расстелила сукно торжественной встречи. И напротив самых присутственных мест -- топтала сукно свинья.

Князь с визитами ездил задумчив: хорошо бы и правда -- в такой день святое дело начать... Но все разговелись усердно, везде на столах травнички, декокты, наливки, настойки; где уж там серьезный разговор завести?

Последняя у князя надежда была -- на отца Петра: отец Петр способен -- от мира сего вознестись к возвышенному. Несомненно, способен: человека по глазам -- сейчас видно.

Так рассуждал князь, подкатывая на линейке к отцу протопопу. Откуда ни возьмись -- свинья. Хрюкнула зло на лошадь, лошадь -- шарахнулась, ляскнул зубами князь, еле усидел. Вошел к протопопу расстроенный.

-- Отец по приходу ходит,-- вышла к князю Варвара. Повертела лампу в руках, но не зажгла почему-то.

Только тут князь приметил: а пожалуй, ведь поздно. За окном взошел месяц, ущербленный, тусменный, узкий. И таким увиделось небо жутко-пустым, таким замокшим навек, что схватило горло, хоть вой...

Молчать было жутко. Насильно улыбнул себя князь:

-- Я, знаете, к вам на живейном ехал. А на лошадь -- свинья кэ-эк хрюкнет... Свиньи у вас борзые какие!

Варвара молчала, глядела в окно на месяц.

-- И все у вас какие-то заборы, пустоши, пустоши, собаки воют...

Варвара прикрыла лицо руками и странно сползла со стула на пол. Князь испуганно встал.

-- Не уходите... Нет! Нет! -- закричала, забилась Варвара.

Такие у ней были глаза, такая жалость заныла в князе, что не было сил уйти. Сел снова на стул.

-- Вот, скоро надеюсь... Начнем общеполезную работу...-- забормотал князь, отвернулся: стеснялся глядеть на Варвару, такие у ней глаза...

Показалось, что-то трется у ног -- протопопов пес -- как же он с двора... Глянул, а у ног на полу -- Собачея-Варвара. Ласково скалила собачьи зубы, глазами молила: "Ну, если не хочешь, ты хоть ударь -- хоть ударь", терлась о ноги...

Охнул князь, отпихнулся, выскочил без шапки на площадь. Припустился бежать. Да нет, тут что-то не так... Оглянулся: в Протопоповых окнах темно. Но в одном темном -- или это кажется только? -- в темном мечется белое как мел лицо...

Красная Горка -- свадебный день, а в Алатыре не слыхать ни свадебных бубенцов, ни веселопечальных пропойных песен.

-- Нет женихов, и все тут...-- жалобился князю исправник, сдавая заказное письмо.

-- А вы бы их... тово... поощрили властью, от Бога данной.

-- Я бы рад, да не знаю, как. А то бы... вас первого поощрил,-- вдруг, насмелевши, брякнул исправник.

-- Что ж, я... я жениться не прочь,-- сконфузился припертый к стене князь.

Мимоходный этот разговор, конечно, стал известен всему городу; вновь воспрянули надежды на князя. И когда в пятницу на Фоминой получены были письма от князя с приглашением собраться на почте к восьми по самонужнейшему делу, так все валом и повалили: весь именитый Алатырь собрался.

-- Господа! По Евангелию...-- у князя дрогнул голос,-- несть ни эллин, ни иудей, ни кто там. Все -- одно стадо. А что же мы, господа?

Князь строго поглядел на всех. Кто-то сокрушенно вздохнул.

-- В стаде -- разве по-разному блеют? А мы -- кто по-каковскому, всяк по-своему. Отсюда и война, и всякая такая дрянь, а ежели бы как стадо... На одном на великом языке эсперанте весь мир -- то настала бы жизнь прекрасная и всеобщая любовь... До последнего окончания мира...

-- Господа, а мы-то... Мы давно подумывали, богадельню или бы что. И вдруг -- прямо то есть в самую точку...-- Растроганный исправник полез целоваться к князю.

А за ним и все зашумели, затеснились к князю, умильно зарились на него, как коты на сметану, с любострастней лобызали небритую Князеву щеку.

Оказался у князя полнехонек лист подписей. Больше всего тут было девьих имен. Но отрадно, что обнаружилась жажда знаний и во многих почтенных, немолодых уже людях: записался исправник, Родивон Родивоныч, Левин -- аптекарь, отец Петр -- протопоп, дворянин Иван Павлыч. Князь был донельзя доволен.

Никогда еще в Алатыре не было такого страдного лета. Бывало, румяным летним вечером всяк прохлаждался по угожеству своему. Кто подородней -- в чем мать родила попивал квас в садике под яблонькой; кто поприлежней -- сидел над синим омутом, выуживая склизких линей; кто посмирней пред супругой -- исправника взять -- на крылечке исправник чистил вишню-владимирку для варенья.

А уж нынче каюк житью прохладному. Как отзвонит в соборе восемь часов, тут какая погода ни будь, соловьи от натуги хоть тресни, а надо идти к князю на учебу. И только в Алатыре трое дурных -- в охотку бегут учиться: Костя Едыткин, Глафира исправникова да Варвара-протопоповна.

Костя являлся на уроки неизменно первым. Ревниво стерег он свое сладкое место -- рядом с Глафирой. Приносил Глафирины тетрадки, клал их от себя по правую руку, садился и долго ожидал в тихой теми.

"Глафира -- супруга моей жизни, это уж нерушимо. А после ней первый человек -- господин почместер, в связи его международного языка. Ежели стихи пропечатать на международном языке, так это уж будут знать во всем мире..." Хорошо -- в теми помечтать!

К девяти полыхают все лампы, к девяти -- многолюдна почта, больше всего барышень. Шушуканье, шелест шелковых лент, миганье тайных зеркальцев, зависть змеиная к этим бесовкам -- к Глафире да к Варваре: всегда назубок все знают, так и чеканят.

-- Полюбили, некстати больно, науку...

-- Зна-аем мы науку эту самую, зна-аем! Родивон Родивоныч ходил печальный, жаловался:

-- Жизнь-то на старости лет какие преподносит нюансы... из трех пальцев... Сиди вот с тетрадкой. А главное при моем почти что придворном звании... Не-ет, я брошу!

А бросить -- с князем рассор навек, прощай все надежды. Нет уж, видно, единородных своих ради придется терпеть.

И крепились, терпели отцы. Кряхтя, косоурясь на князя, ладили все примоститься поближе к Глафире либо к Варваре.

-- Leono esta forta. La denta esta acra...-- расхаживая, громогласно диктовал князь и нарочно крал окончания слов: пусть поупражняются... Счастливым светом сиял его странный, бесподбородочный лик: князь святое дело творил, князь сейчас был первосвященником. Вот еще немножко, лет десяток-другой, и наступит всеобщая любовь.

Проходя мимо Ивана Павлыча, князь приметил: "Какой у него хороший, внимательный взгляд..." Внимательным взглядом проводил Иван Павлыч князя, тотчас привстал и запустил глазенапы в тетрадку к Глафире -- Глафира впереди сидит.

-- Esta -- эс на конце, acra -- эс на конце -- шептал Иван Павлыч исправнику.

-- Да не слышу же, ч-черт! Громче...-- кипятился исправник

Но князь уж повернулся -- и вмиг все гладко и тихо, исправник -- над своей тетрадкой; как урытый -- сидит Иван Павлыч, с приятностью на лице...

6. ЕПАРХИЯ ЗЕЛЕНЕНЬКАЯ

В родительскую субботу -- Мишка, бывший столяр, а нынче просто алахарь, бегал по городу с клейстером и клеил афиши на фонарных столбах, на бесконечных заборах. Посреди афиши били в глаза крупные буквы:

А ТАКЖЕ

ИЗВЕСТНЫЕ АНГЛИЧАНКИ

СЕСТРЫ ГРЪЙ

Из губернии приехали -- показывать туманные картины. Укланяли князя: отменил князь урок всемирного языка, и всем карагодом повалили глядеть эти самые туманные картины.

Как-то случилось -- оттерли Костю в проходе, и не спопашился он занять себе местечко рядом с Глафирой: с нею сел князь, а Костя -- позади. Рядом с ним оказался дворянин Иван Павлыч.

Хотел Костя загорюниться, что Глафира -- не с ним, да не успел: вылезли на полотне, завертелись, зажили, залюбили полотняные люди.

...Неслышно, как кошка, красавица крадется на свиданье к маркизу. Сейчас вот, сейчас, ступит на секретную плиту, сейчас -- ухнет плита, глонет красавицу подземелье.

Костя вскочил -- может быть, чтобы крикнуть красавице про плиту.

Иван Павлыч осадил Костю вниз за рукав. Но это все равно: красавица видела, как махнул ей Костя рукой, миновала проклятое место.

...И вот -- вдвоем. Долго ей смотрит в глаза -- маркиз, или князь он? -- и они медленно клонятся друг к другу, вот -- близко, вот -- волосы их смешались.

Вдруг Косте показалось, что вовсе это не на полотне, а Глафира и князь: клонятся, клонятся, прижались щекой к щеке...

Мрет сердце у Кости, протирает глаза: приглазилось только, или...

Но мигнувший миг -- уже не поймать: ярко загорелись лампы, ждет новых людей полотно, Иван Павлыч смеется:

-- Хи-хи, чудород-то какой наш Костя: красавицу полотняную увидал -- и вскочил. Побеседовать, что ли, с нею хотел?

-- Да ведь он же -- поэт, поэту -- все можно,-- заступилась Глафира, она стояла обок князя, очень близко.

"Конечно, попритчилось, приглазилось все..." -- решил Костя по дороге домой. Но червячок какой-то самомалейший -- не слушался слов, точил и точил...

В ночь на Покров пошел шапками снег. Выбежал Костя утром -- нет ничего: ни постылого проулка с кучами золы, ни кривобокой ихней избы. Все белое, милое, тихое -- и какая-то нынче начнется новая жизнь. Не может же быть, чтобы стало так -- и чтобы все по-прежнему было?

На Покров Костя обедал у исправника. После обеда сидели в гостиной. Дворянин Иван Павлыч -- что-то пошушукался с Глафирой, взмахнул рыжей поддевкой -- и подсел к Косте. Разговор повел с приятностью, тонко.

-- Вязь-то какая прекрасная, а? Прямо талант, дар Божий...-- Иван Павлыч любовался вязаной салфеткой.-- А-а... вы, говорят, тоже... тово... пишете? -- повернулся он к Косте.

-- А вы -- откуда же... откуда же вам известно? -- покраснел от радости Костя.

-- Как откуда? Про вас в журналах пишут, а вы и не знаете...-- и протянул Иван Павлыч Косте свежий номерок Епархиальных Ведомостей.

В самом конце, после "печатать разрешается", были три неровные строчки: "Что же касается стихотворений молодого писателя Едыткина, то таковые мы считаем отнести к высшей литературе".

Хотел что-то сказать Костя, но схватило за горло: стоял совершенно убитый счастьем. Где же Косте узнать, что напечатаны эти три строчки в типографии купца Агаркова по личной Ивана Павлыча просьбе?

Ночью Костя -- и спал, и не спал. Глаза закроет -- и сейчас же ему видится: будто он над епархией все летает, а епархия -- зелененькая и так, невеличка, вроде, сказать бы, выгона. И машут ему платочками снизу: знают все, что летает Константин Едыткин.

Ну, теперь уж, хочешь -- не хочешь, надо писать. Предварительно Костя перечел еще раз Догматическое Богословие -- самую любимую свою книгу, потому что все было там непонятно, возвышенно. А потом уже засел писать серьезные сочинения в десяти главах: довольно стихами-то баловаться.

Писал по ночам. Потифорна самосильно посвистывала носом во сне. Усачи тараканы звонко шлепались об пол. В тишине -- металась, трещала свеча. В тишине -- свечой негоримо-горючей Костя горел. Писал о служении женщинам; о любви вне пределов, вне чисел земных; о восьмом вселенском соборе, где возглашен будет символ новой веры: ведь Бог-то, оказывается,-- женского рода... Так близко сверкали слова, кажется,-- только бери, ан глядь -- на бумаге-то злое, другое: уж такая мука, такая мука!

В вечер Михайлова дня -- Костя публично читал свое сочинение в гостиной у исправника. Бледный, как месяц на ущербе, покорно улыбнутый навеки, стоял -- трепетала тетрадка в руках. Поглядел еще раз молитвенно на Глафиру...

-- Ну, господа, тише, тише, сейчас начинает,-- суетился Иван Павлыч, как бес.

В тишине, чуть слышно прочел Костя:

-- Заглавие: "Внутренний женский догмат божества".

Неслышно-взволнованно горели лампы. Чужим голосом читал Костя. Публика глядела в землю, и не понять было, нравится ей Костино сочинение или нет.

Костя дошел до второй главы, самой лучшей и самой возвышенной: о восьмом вселенском соборе. Голосом выше забрал, вдохновился, стал излагать проект всеобщей религиозно-супружеской жизни.

Тут вот и прорвало. Не стерпев, первым фыркнул исправник, за ним -- подхватил Иван Павлыч, а уж там покатились и все -- и всех пуще звенела Глафира.

Проснулась исправничиха, брыкнула свой стул со страху.

-- Да что ж это, батюшки, где загорелось-то? -- смех еще пущий.

...Как заяц, забился Костя в запечье, в спальне исправницкой. Голову, голову-то куда-нибудь, главное, спрятать. Голову-то хоть спрятать бы!

Старинным старушечьим сердцем одна исправничиха пожалела, одна разыскала, одна утешала Костю.

-- Да что ж это, батюшка, чего ты сбежал-то? Ты думаешь, что? Это ведь я со сна чебурахнулась вниз головой, надо мной грохотали, старухой, а ты думал, что? Экие гордецы нонче все: уж сейчас на свой счет...

Костя поднял голову, Костя хватался за соломинку, глазами молил о чем-то исправничиху.

Услыхала исправничиха, уткнула себе в колени Костину голову:

-- Иль мне уж не веришь? Я не Иван Павлыч какой-нибудь, я обманывать не стану.

-- Я ве-ерю...-- захлебнулся Костя слезами.

7. В СЕРЕБРЯНЫЕ ЛЕСА

Вышла зима больно студеная, такой полста лет не бывало. Обманно-радостное, в радужных двух кругах, выплывало льдяное солнце. От стыди от лютой -- на-полы треснул древлий алатырь-камень.

-- Ну-у, быть беде,-- крушились алатырцы.

А пока, до беды, засели покрепче в мурьях, еще пуще предались сновиденной жизни -- всякий своей. Исправник изобретал; Родивон Родивоныч -- выписал "Готский Альманах" и услаждался; Костя горестно вернулся к стихам; протопоп отец Петр беседовал с своим коземордым; все тем же горбоносым горела Глафира; а князь проповедовал великий язык эсперанто...

Что-то рассохлось, разладилось дело у князя. Все чаще на почту приходили кучера -- с усами в сосульках -- и вручали князю записки: не могу, мол, быть на уроке по случаю внезапной болезни. Вовсе отстал Родивон Родивоныч, не стерпел -- исправник отстал, поредели ряды девиц. Князь понял, что надеяться можно только на двух: на Глафиру -- да еще на Варвару. Вот уж эти действительно любят великий язык: так и чеканят, так и тачают друг перед дружкой. Улыбался князь то одной, то другой.

-- От-лично, пре-красно...

Глафира и видеть теперь не могла Варвару. А Варвара, черносиневолосая, с ласково-злой улыбкой все лезла к Глафире, все норовила обнять. Не стерпев, однажды Глафира сказала:

-- Ты что лезешь? Думаешь, я не знаю, кто мне на масленой платье прочекрыжил? Зна-аю, голубушка, знаю!

-- А я, думаешь, не знаю, как ты себе бороду на подбрюдке стрыгешь? Ште, съела?

С той поры -- ни слова: конец. И только при встречах, как гуси, зловеще шипели...

После уроков усталый расхаживал князь по почте. Трудно, ох как трудно! Но все-таки на один день ближе к тому празднику, к той светлой Пасхе, когда кликнут все на одном языке, запоют и обымут друг друга и кончится старая жизнь.

На полу -- окурки, крошки (ученикам полагался ситный от почтмейстера и чай), шпильки, бумажки Князь рассеянно подымал, разглядывал. Рожи, росчерки. "Кн. Екатерина Вад.". "Катька, ты дура набитая" "А я его все-таки обожаю". Попадались часто записки отца Петра -- к соседу его по урокам аптекарю Левину... "А вчерась явился он мне телешом. Это уж пакостно даже глядеть. Не ведомо ли вам какое-либо от искушений медицинское средство?"

Но все это так, пустяки. А вот последнее время -- в самом деле, какие-то странные пошли записки. Находил их князь на своем столе, под подушкой, в карманах: Бог их знает -- как туда попадали. Чуть-чуть надушены были эти записки и всегда -- на великом всемирном языке.

-- Mi amas tin, amas, amas -- a... a... a...-- amas -- подряд без конца. Нарочный, изломанный почерк.

Под великим секретом -- показал князь Ивану Павлычу, Иван Павлыч кряхтел, и без лупы разглядывал и в лупу:

-- Исправникова Глафирка, голову даю на отсечение! Кому же еще по-эсперанту так ловко? А назавтра -- новое князю:

-- "Милый, милый -- я тебе все".

И конец. И молчок. Расхаживал князь, счастливый

-- "Милый, будет ночь, темно и все, что велишь"...-- и конец, и ни слова.

Кто научил ее так -- лукавому знать. Будто вот плясала перед князем, вся в черном. Вдруг откинула кладки -- сверкнула на черном розово-нежно, И конец. И снова колышется тяжелый покров, и манит и манит без конца глядеть, не мелькнет ли еще...

Длинным вьюжным вечером смотрел князь в узорноморозные окна потихоньку бродил меж серебряных деревьев -- и все возвращался к одному: к несказанному, к мелькнувшему. Ее -- никогда не называл князь: Глафира -- как Иван Павлыч, а всегда говорил: она.

Неприметно и плавно, как цветы расцветают, она медленно зрела из исправниковой Глафиры -- и вот, в декабре она уже стала жить самолично, сама по себе.

По-прежнему все записки от нее написаны были на эсперанто получи теперь князь от нее хоть слово по-русски -- он счел бы это противоестественным, был бы даже оскорблен. Помалу связал ее князь с великим языком воедино

Всякое эсперантское слово теперь вдвойне сладко князю ведь это -- ее слова. В ее синих, глубочайших глазах -- пленен весь мир И равно -- всем миром владеет язык эсперанто

"...Да что -- всем миром всей вселенной. На Венере какой-нибудь, венерические тамошние жители -- тоже поди, эсперанто знают. А как же? Обязательно знают"

Так мечталось князю. Так все дальше в серебряные леса уходил князь от скучной правды. Бывшей правде, княгине, проживавшей в Сапожке у отца своего -- протоиерея, князь давно уж и писать перестал. Избегал он и Глафиру видеть с глазу на глаз: может, и правда -- Глафира пишет записки, но не надо это знать.

Вечера князь просиживал дома, а за полночь -- шел гулять. Ночью удобно думать: пустые, просторные, снежные улицы, влекущие огни лампадок в окнах, бродил и бродил

А следом за князем, темной тенью у стен крался Костя. Тенью за князем Костя следил теперь и денно, и нощно надо узнать наверняк, что у него с Глафирой. Хоть самое, хоть самое страшное, да только бы наверно. Без наверного -- совсем невтерпеж Глафире, хоть Костя и верит -- как же не верить-то. Господи? -- но вот Иван Павлыч говорит, что она.

Дворянин Иван Павлыч -- добрейшей души человек, но есть за ним грех: медом его не корми, только бы над кем шутку сыграть (над ним самим-то -- больно много шутили)

В запрошлом году -- Иван Павлыч подъехал к Агаркову-гостинику, к градскому голове: подпали да подпали амбар агарковский старый.

-- Во-от, не верит, чудак! -- улещал купца Иван Павлыч.-- Страховые за амбар огромадные, новый-то амбар возведешь вдвое ширьше...

У Агаркова борода лопатой, а ума не богато: поверил Ивану Павлычу, запалил свой амбар. И самое когда это подпаливать стал, нагрянули тут, раба Божия -- под белые ручки да на цугундер. Дорого купцу новый амбар обошелся, куда там -- страховые! А уж кто это начальство уведомил -- Агарков так и не дознался. Сам Иван Павлыч повинного взялся искать, ну даже и он не нашел.

А то вот еще с чиновником Зюньзей случай был. Смеха для -- проказник какой-то подметное письмо настрочил чиновнику Зюньзе: так, мол, и так, жена-то твоя тово... кургузит, а ты, мол, и ухом не ведешь? И назавтра чиновник Зюньзя выволок молодую наружу и при всем честном народе стал ее учить. А народ -- как будто был повещен, без числа собрался: уж было потехи!

-- ...Да, брат Костюня, Глафирочке твоей нынче аминь! -- подзуживал Иван Павлыч, подталдыкивал Костю.-- Нынче в четыре часа пополудни -- решительное свидание... Чуда-ак, да ведь князь мне записку показывал, как же не знать-то? У алатырь-камня свидание, и оттуда -- ау: самокруткой, да к князю на почту, так-то-с вот.

Костя покорно плелся к алатырю-камню. В синих сумерках бродил Костя час и другой. Тихо сыпался снег. Тихо точила тоска. Рассевшийся наполы темный алатырь -- вещал беду. Навалился алатырь -- сонный медведь -- под себя подмял: продыхнуть невозможно.

Никакого свидания, никто не приходил. Поздним вечером Костя, весь замерзший, тащился на почту: там теперь, в боковушке, жил Иван Павлыч.

-- Ну что, брат Костюня, никого? Эх, ты, Господи, стало быть, ослышался я: это завтра... Эх, я какой!

-- Это вы нарочно все, Иван Павлыч.

-- Это я-то нарочно? Я ему по дружбе, а он на-ка: нарочно. Эх, Коська, не знаешь ты, какой я есть, Иван Павлыч...

Ставил Иван Павлыч бутылку на стол. Костя пил. Едучим дымом застилался весь свет, и в дыму возникал светлый лик владычицы, сладкой мучительницы, Глафиры.

Посыпая тетрадку слезами, декламировал Костя:

В моей груди -- мечта стоит,

А милая Глафира -- ко мне презрит

Выпивши, Костя спал как убитый. Но не было покоя и во сне. Просыпался все один и тот же, несуразный и будто ничего не значащий сон: забыл будто Костя, как его зовут, забыл -- и весь сказ, и весь страшный сон тут. Но таким стоном охал Костя во сне, что Потифорна принималась его будить. Оно хоть и жалко -- будить, но слушать стон -- еще жальче.

8. СВЯТОЧНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Господи, да ведь нет ничего проще, как из обыкновенной холстины -- приготовить наилучшее непромокаемое сукно. Удивительно даже, как раньше Ивану Макарычу это в голову не пришло: давно бы двести тысяч в банке лежало.

Заперся в кабинете Иван Макарыч и сел записывать, пока не забыл:

"Для сего надо в первую очередь изрубить возможно мелко потребное количество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким составом, который содержит: во-первых, двенадцать долей именуемого в просторечии сапожного вару..."

Построил Иван Макарыч непромокаемое сукно -- и решил оказать всенародно свое великое изобретение. На святках, на третий день, поназвал исправник гостей, позажег в кабинете лампы со всего дому. Кошкарев, околоток, в белых перчатках, высоко напоказ -- поднял мешок из исправникова сукна, полный водою. До того удивительно: держалась вода как в хорошем ведре.

...А на пятой, на последней, минуте -- сукно-то возми да и промокни, при всем честном народе. Ах ты, сделай одолжение! Глядит на ручьи исправник -- будто ручьев никогда не видал, только ватные брюки свои подтягивает.

Гости смолчали, никто -- ни смешинки.

-- Вода... неподходящая, должно быть. Разная она бывает -- вода-то,-- с приятностью сказал Иван Павлыч.

Тут уж протопоп отец Петр -- не стерпел засмеялся. А ему ведь только начать смеяться, а там и не уймешь: смешливый. Трясется, стоит -- весь обсыпан смехом, как хмелем, мохнатенький, маленький -- звонит и звонит.

Исправник -- инда пополовел. Дверью хлопнул -- только его гости и видели.

Вышло это на третий день, а на четвертый продолжались святочные происшествия. На четвертый день -- протопоп кончил ходить по приходу. Изусталый вернулся домой. Пообедал изрядно, баклановки рюмочку выпил, разоблачился -- и лег отдохнуть.

И часу этак в шестом -- произошло: явился он телешом, и был он теперь в женском образе. Вся та поганая баба была, как киноварь, красная и так мерзостно вихлялась, что терпеть было нельзя ни минуты. Отец Петр -- подавай Бог ноги: выскочил вон без оглядки, весь в белом, бежал-бежал...

Человека, одетого противозаконно, полицейский поймал возле алатыря-камня. Поймал и тотчас предоставил к начальству.

И как исправник был еще во гневе, то он и потребовал:

-- Паспорт имеешь? Ты из каких это будешь вообще?

-- Иван Макарыч, Бог с вами, да ведь это же я, это я...

-- Я вижу, что я. Якать-то всякий умеет. Ты мне подай вид на жительство!

Кто же с собой вид берет, убегая наваждения дьявольского? Нет уж, видно, придется протопопу ночь ночевать в кутузке.

А в протопоповском доме Варвара накрывала к вечернему чаю. Поставила загнутый на четыре угла пирог -- с четырьмя разными начинками; поставила баклановку -- в глиняной сулее; поставила кусок мороженых сливок -- и пошла протопопа будить. А протопопа -- и след простыл: брюки тут, подрясник -- тут, а самого -- поминай как звали. Побежала Варвара гончей по отцовским следам... Ворвалась к исправничихе, всполыхнула ее своей жалобой, исправничиха покатилась и грозно насела на исправника:

-- Да ты что же это такое? С последнего спятил? В кутузку -- отца своего духовного, а? Сейчас чтобы лошадь велел запречь и домой отца протопопа доставить... а то -- знаешь?

В гостиной, в углу, Варвара ждала резолюции. А к Варваре спиной -- у окна закаменела Глафира, будто и не видит Варвары. Но вошедшей исправничихе был явственно слышен зловещий гусиный шип.

Распалилась исправничиха -- решила уж заодно вычитать все и Варваре.

-- Ты что у меня там с князем ворожишь? Какие такие записки?

-- Ваша Глафира пишет -- это все говорят -- а я виновата?

-- А ну-ка мне прямо в глаза, ну-ка, ну?

Но глаза показать Варвара не хотела: неведомо как проюркнула мимо слоновых растопыренных рук, вильнула хвостом -- и была такова...

Про записки на великом всемирном языке, которые князь от н е е получал, в самом деле по городу шел слушок, хотя это дело князь держал в строгом секрете, только одному Ивану Павлычу и доверил. А знали -- всё, даже и это, что она назначала свидания князю, а князь не ходил.

Не ходил князь. Жалко было князю рушить взлелеянный нежно обман. И знал, что неловко не ходить, знал, что ждала. Но не мог, не мог князь, жалко было пойти.

Под Крещенье -- опять получилась записка. Нарочно, чтобы сладко помучиться, князь не распечатывал записку до вечерней звезды. Распечатал -- и...

"Я тебя, проклятого, целый час ждала,-- на морозе-то, думаешь, сладко? Тоже называется -- князь? Ну, если завтра не придешь на то же самое место, вот ей-Богу, уйду -- и больше ни писать, ничего. Наплевать, не больно нужен-то, хоть будь ты раскнязь".

И это было уже не на великом всемирном языке, а на грубом, земном. Это уж -- не она, она -- умерла. Теперь -- все равно. Ну что ж, можно и пойти, все равно.

Назначено было: в девять часов утра, на катке. Не спалось, князь вышел задолго. Солнце горело обманным льдяным огнем. Колокола пели холодными голосами.

Приглядевшись получше, почтмейстер приметил: на снегу -- как запах -- легчайшая алость, смертный румянец зари. Вздохнулось...

В углу на катке -- конурка, вроде собачьей: грелка, а также обитель татарина -- держателя катка. На лавке возле конурки -- в валеных калошах сидела она. Черно-синие космы, собачьи глаза.

-- Варвара Петро...-- остолбенел князь. "Бежать, бежать..."

Но глаза -- такие были глаза у Варвары, так молила: "Ну, хоть ударь, господин мой, хоть ударь..." Не мог князь уйти, разрушенный весь дотла -- остался...

В соборе к водосвятию звонили -- медленно, мерно. Все готовили -- кто кувшинчик, кто чайник -- ринуться благочестиво к чану с святой водой. А Костя, бросив свою посуду, во весь дух бежал из собора: только сейчас ему Иван Павлыч сказал всерьез, что на катке -- решительное свидание у князя с Глафирой. Не хватало дыханья -- хлебал Костя воздух ртом, как рыба. Сейчас -- всё -- конец...

И вдруг вместо смерти -- жизнь: на катке -- Варвара. Князь и -- Варвара. Варвара, вот кто! А Глафира...

-- Прости, прости, богочтимая,-- с катка мчался Костя к Глафире...

Оголтело влетел в светелку -- и бух на колени:

-- Прости, прости, богочтимая!

Глафира перед зеркалом выстригала волосы на подбородке: растут и растут, проклятые. Поглядела косо на Костю, на руки, молитвенно сложенные, на слезинки между веснушек, на озябший, жалостный носик.

-- Ну, чего разнюнился-то?

-- ...А на катке-то Варвара с князем, вот кто: Варвара... Прости, богочтимая...-- блаженно, с закрытыми глазами, Костя стоял на коленях.

Сверкнуло зеркало вдребезги об пол.

-- А-а, на катке-е? Да пусти ты с дороги! Ну? Пусти...-- Глафира отпихнула Костю и помчалась туда.

Молния ночью жигнет -- и все видно ясно: листок на дороге, седой волос в виске, вихор соломы под застрехой. Так вот и Костя сейчас: все до капли увидел...

Потифорна пришла домой с базару, веселая. Базарным дробным говором застрекотала:

-- Костюнька-а, происшествие-то нынче какое, слыхал? На катке-то?

Костя лежал на укладке -- поднял голову...

-- ...Поцапались за князя, ну и бесстыжие, а? Клубком завились, по катку покатились, ну, срамота-а! Варька, Собачёя-то, в кровь искусала исправникову. Вот он -- князь мира-то сего, дьявол-то!

Костю вдруг осенило: князь мира сего, вот оно что ведь. И язык его этот самый... Всех погубил, всех опутал -- князь мира.

Утром Костя встал чем свет, прошел на цыпочках мимо мамани, подмигнул ей прехитро -- и марш на почту.

На почте еще ни души. Один сторож Ипат -- подметал полы. Тот самый Ипат, какого собака-то бешеная укусила. Вылечиться -- хоть вылечился Ипат, но по сю пору считался опасен, и рисковала держать его только казна.

Нанес Костя снегу. Ипат заругался. Но Косте было не до Ипата... Сел за свой столик, взял телеграфный бланк -- и на нем написал письмо. Слова сумасшедшие скакали, иные были -- на языке, ведомом одному Косте. Но все же разобрать было можно: Костя открывал князю, что он, князь -- есть диавол, князь мира, и подлежит...

Князь мира вошел. Сел за свой стол, печально-рассеян. Поглядел на пустое Глафирино место. Стал составлять телеграмму в город Сапожок.

Костя молча подал князю свое письмо. И когда князь изумленно перевел на Костю глаза -- Костя взял со стола стальную линейку и замахнулся. Князь прикрыл руками голову, положил ее на стол и покорно, не шевелясь, ждал. И так Косте стало жалко его -- хоть он и князь мира -- и жалко себя, и Глафиру, и весь Алатырь, что выпустил он линейку из рук и завопил смертным голосом:

-- Пропали мы! Пропали, пропали...

Громыхнула линейка на пол.

Костю вели в острог -- окружили толпой: не вырвался бы, убивец проклятый. Ну, и народ же нынче пошел... а еще чиновник! На князя нашего покусился, а?

Алатырь проснулся, галдел, махал руками. Поднимались на цыпочках -- на убивца поглядеть.

-- Ты, гляди, Ипат, не упусти! Держи его крепко,-- кричали Ипату, бешеному.

-- Я крепко и то...-- и поглядев исподлобья, Ипат -- невзначай будто -- сунул Косте пятак: бери, пригодится.

Костя покорно взял пятак, улыбнулся покорно. Но тут же и разжал руку. И пропал Ипатов пятак: затоптали.

Сергей Есенин

Справочный материал

Сергей Александрович Есенин родился в селе Константинова Рязанской губернии 3 октября (21 сентября) 1895 года в семье зажиточных крестьян Александра Никитича и Татьяны Фёдоровны Есениных. Т.к. мать поэта была выдана замуж не по своей воле, то вскоре вместе с малолетним сыном ушла жить к родителям. Через некоторое время Татьяна Фёдоровна отправилась на заработки в Рязань, а Сергей остался на попечении бабушки и дедушки Титовых. Дедушка Сергея Есенина был знатоком церковных книг, а бабушка знала множество песен, сказок, частушек, и как утверждал сам поэт, именно бабушка подталкнула его к написанию первых стихотворений.

В 1904 году С. А. Есенина отдают на учёбу в в Константиновское земское училище. Через несколько лет он поступает в церковно-учительскую школу.

В 1912 году, после окончания школы, Сергей Александрович Есенин отправляется на заработки в Москву. Там он устраивается в типографию И.Д.Сытина помощником корректора. Работа в типографии позволяла молодому поэту читать множество книг, дала возможность стать членом литературно-музыкального Суриковского кружка. Первая гражданская жена поэта, Анна Изряднова, так описывает Есенина тех лет: «Слыл за передового, посещал собрания, распространял нелегальную литературу. На книги набрасывался, все свободное время читал, все свое жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думал, как жить…».

В 1913 году С. А. Есенин поступил на историко-философский факультет Московского городского народного университета им. Шанявского. Это был первый в стране бесплатный университет для вольнослушателей. Там Сергей Есенин слушал лекции о западноевропейской литературе и о русских поэтах.

Но, в 1914 году Есенин бросает работу и учёбу, и по словам Анны Изрядновой, весь отдаётся в стихам. В 1914 году в детском журнале «Мирок» были впервые опубликованы стихи поэта. В январе его стихи начинают печататься в газетах «Новь», «Парус», «Заря». В этом же году у С.Есенина и А.Изрядновой родился сын Юрий, который был расстрелян в 1937 году.

В 1915 году молодой Есенин покидает Москву и переезжает в Петроград. Там с его творчеством знакомятся многие поэты и писатели того времени. Его стихотворения читали А.А.Блок и С.М.Городецкий. В это время Сергей Александрович вступает в группу так называемых «новокрестьянских поэтов» и издаёт первый сборник «Радуница», который сделал поэта очень известным.

В январе 1916 года Есенина призвали на военную службу. Весной молодого поэта приглашают читать стихи императрице, что в будущем помогает ему избежать фронта.

Весной 1917 года Сергей Есенин в редакции газеты «Дело народа» знакомится с Зинаидой Райх. А в июле того же года они обвенчались. В это время разворачивалась Октябрьская революция, которую поэт принял безоговорочно.

В 1918 году в Петрограде публикуется вторая книга стихотворений С. А. Есенина «Голубень».

С 1917 по 1921 год Сергей Александрович Есенин был женат на актрисе Зинаиде Николаевне Райх. От этого брака у Есенина родилась дочь Татьяна и сын Константин.

Уже в апреле 1918 года Есенин расстается с З. Райх и перебирается в Москву, котора к тому времени стала литературным центром.

Во время совместного проживания с переводчецей Надеждой Вольпин у Сергея Есенина родился сын Александр.

В 1921 году поэт отправился в путишествие по Средней Азии, посетил Урал и Оренбуржье.

В 1922 году Есенин женился на известной американской танцовщицей Айседоре Дункан. Вскоре уехал с ней в длительное турне по Европе и Америке. В газете известия были опубликованы записи С. А. Есенина об Америке «Железный Миргород». Брак С.Есенина и А.Дункан распался вскоре после возвращения из турне.

В одной из последних поэм «Страна негодяев» Сергей Александрович Есенин очень резко пишет о лидерах России, что влечёт за собой критику и запрет публикаций поэта.

В 1924 году творческие разногласия и личные мотивы побудили С. А. Есенина порвать с имажинизмом и уехать в Закавказье.

Осенью 1925 года у Есенин женился на внучке Льва Толстого Софье, но брак был не удачным. В это время он активно выступал против еврейского засилья в России. Поэт и его друзья обвиняются в антисеметизме, за что полагался расстрел. Последний год жизни Есенин провёл в болезнях, скитаниях и пьянстве. По причине сильного пьянства С. А. Есенин некоторое время прибывал в психоневрологической клинике Московского университета. Однако из-за преследований со стороны правоохранительных органов поэт был вынужден покинуть клинику. 23 декабря Сергей Есенин уезжает из Москвы в Ленинград. Останавливается в гостинице «Англетер».

В ночь на 28 декабря 1925 года при не выясненых обстоятельствах погиб русский поет – Сергей Александрович Есенин.

Песнь о великом походе

Эй вы, встречные,
Поперечные!
Тараканы, сверчки
Запечные!
Не народ, а дрохва
Подбитая!
Русь нечесаная,
Русь немытая.
Вы послушайте
Новый вольный сказ,
Новый вольный сказ
Про житье у нас.
Первый сказ о том,
Что давно было.
А второй - про то,
Что сейчас всплыло.
Для тебя я, Русь,
Эти сказы спел,
Потому что был
И правдив и смел.
Был мастак слагать
Эти притчины,
Не боясь ничьей
Зуботычины.

*

Ой, во городе
Да во Ипатьеве
При Петре было
При императоре.
Говорил слова
Непутевый дьяк:
"Уж и как у нас, ребята,
Стал быть, царь дурак.
Царь дурак-батрак
Сопли жмет в кулак,
Строит Питер-град
На немецкий лад.
Видно, делать ему
Больше нечего,
Принялся он Русь
Онемечивать.
Бреет он князьям
Брады, усие, -
Как не плакаться
Тут над Русию?
Не тужить тут как
Над судьбиною?

Непослушных он
Бьет дубиною".

*

Услыхал те слова
Молодой стрелец.
Хвать смутьянщика
За тугой косец.
"Ты иди, ползи,
Не кочурься, брат.
Я свезу тебя
Прямо в Питер-град.
Привезу к царю,
Кайся, сукин кот!
Кайся, сукин кот,
Что смущал народ!"

*

По Тверской-Ямской
Под дугою вбряк
С колокольцами
Ехал бедный дьяк.
На чертвертый день,
О полдневых пор,
Прикатил наш дьяк
Ко царю во двор.
Выходил тут царь
С высока крыльца,
Мах-дубинкою
Подозвал стрельца.
"Ты скажи, зачем
Прикатил, стрелец?
Аль с Москвы какой
Потайной гонец?"
"Не гонец я, царь,
Не родня с Москвой.
Я всего лишь есть
Слуга верный твой.
Я привез к тебе
Бунтаря-дьяка.
У него, знать, в жисть
Не болят бока.
В кабаке на весь
На честной народ
Он позорил, царь,
Твой высокий род".
"Ну, - сказал тут Петр, -
Вылезай кось, вошь!"
Космы дьяковы
Поднялись, как рожь.
У Петра с плеча
Сорвался кулак...

И навек задрал
Лапти кверху дьяк.

У Петра был двор,
На дворе был кол,
На колу - мочало.
Это только, ребята,
Начало.

*

Ой, суров наш царь,
Алексеич Петр.
Он в единый дух
Ведро пива пьет.
Курит - дым идет
На три сажени,
Во немецких одеждах
Разнаряженный.
Возговорит наш царь
Алексеич Петр:
"Подойди ко мне,
Дорогой Лефорт.
Мастер славный ты:
В Амстердаме был.
Русский царь тебе,
Как батрак, служил.
Он учился там,
Как топор держать.
Ты езжай-кось, мастер,
В Амстердам опять.
Передай ты всем
От Петра поклон.
Да скажи, что сейчас
В страшной доле он.
В страшной доле я
За родную Русь...
Скоро смерть придет,
Помирать боюсь.
Помирать боюсь,
Да и жить не рад:
Кто ж теперь блюсти
Будет Питер-град?
Средь туманов сих
И цепных болот
Снится сгибший мне
Трудовой народ.
Слышу, голос мне
По ночам звенит,
Что на их костях
Лег тугой гранит.
Оттого подчас,
Обступая град,
Мертвецы встают

В строевой парад.
И кричат они,
И вопят они.
От такой крични
Загашай огни.
Говорят слова:
"Мы всему цари!
Попадешься, Петр,
Лишь сумей помри.
Мы сдерем с тебя
Твой лихой чупрын,
Потому что ты
Был собачий сын.
Поблажал ты знать
Со министрами.
На крови для них
Город выстроил.
Но пускай за то
Знает каждый дом -
Мы придем еще,
Мы придем, придем!
Этот город наш,
Потому и тут
Только может жить
Лишь рабочий люд".

Смолк наш царь
Алексеич Петр,
В три ручья с него
Льет холодный пот.

*

Слушайте, слушайте,
Вы, конечно, народ
Хороший,
Хоть метелью вас крой,
Хоть порошей.
Одним словом,
Миляги!
Не дадите ли
Ковшик браги?
Человечий язык,
Чай, не птичий.
Славный вы, люди,
Придумали
Обычай.

*

И пушки бьют,
И колокола плачут.
Вы, конечно, понимаете,
Что это значит?

Много было роз,
Много было маков.
Схоронили Петра,
Тяжело оплакав.
И с того ль, что там
Всякий сволок был,
Кто всерьез рыдал,
А кто глаза слюнил.
Но с того вот дня
Да на двести лет
Дуракам-царям
Прямо счету нет.
И все двести лет
Шел подземный гуд:
"Мы придем, придем!
Мы возьмем свой труд.
Мы сгребем дворян
Да по плеши им,
На фонарных столбах
Перевешаем!"

*

Через двести лет,
В снеговой октябрь,
Затряслась Нева,
Подымая рябь.
Утром встал народ
И на бурю глядь:
На столбах висит
Сволочная знать.
Ай да славный люд!
Ау да Питер-град!
Но с чего же там
Пушки бьют палят?
Бьют за городом,
Бьют из-за моря.
Понимай как хошь
Ты, душа моя!
Много в эти дни
Совершилось дел.
Я пою о них,
Как спознать сумел.

*

Веселись, душа
Молодецкая.
Нынче наша власть,
Власть советская.
Офицерка,
Да голубчика
Прикокошили
Вчера в Губчека.

. . . . . .
Гаркнул "Яблочко"
Молодой матрос:
"Мы не так еще
Подотрем вам нос!"

*

А за Явором,
Под Украйною,
Услыхали мужики
Весть печальную.
Власть советская
Им очень нравится,
Да идут войска
С ней расправиться.
В тех войсках к мужикам
Родовая месть.
И Врангель тут,
И Деникин здесь.
А на помог им,
Как лихих волчат,
Из Сибири шлет отряды
Адмирал Колчак.

*

Ах, рыбки мои,
Мелки косточки!
Вы, крестьянские ребята,
Подросточки.
Ни ногатой вас не взять,
Ни резанами,
Вы гольем пошли гулять
С партизанами.
Красной Армии штыки
В поле светятся.
Здесь отец с сынком
Могут встретиться.
За один удел
Бьется эта рать,
Чтоб владеть землей
Да весь век пахать,
Чтоб шумела рожь
И овес звенел,
Чтобы каждый калачи
С пирогами ел.

*

Ну и как же тут злобу
Не вынашивать?
На Дону теперь поют
Не по-нашему:

"Пароход идет
Мимо пристани.
Будем рыбу кормить
Коммунистами".
А у нас для них поют:
"Куда ты котишься?
В Вечека попадешь -
Не воротишься".

*

От одной беды
Целых три растут, -
Вдруг над Питером
Слышен новый гуд.
Не поймет никто,
Отколь гуд идет:
"Ты не смей дремать,
Трудовой народ,
Как под Питером
Рать Юденича".
Что же делать нам
Всем теперича?
И оттуда бьют,
И отсель палят -
Ой ты, бедный люд,
Ой ты, Питер-град!

*

. . . . . .
Дождик лил тогда
В три погибели.
На корню дожди
Озимь выбили.
И на энтот год
Не шумела рожь.
То не жизнь была,
А в печенки нож.
. . . . . .

*

А за синим Доном,
Станицы казачьей,
В это время волк ехидный
По-кукушьи плачет.
Говорит Корнилов
Казакам поречным:
"Угостите партизанов
Вишеньем картечным.
С Красной Армией Деникин
Справится, я знаю.
Расстелились наши пики
С Дона до Дунаю".

*

. . . . . .
Вей сильней и крепче,
Ветер синь-студеный.
С нами храбрый Ворошилов,
Удалой Буденный.

*

Если крепче жмут,
То сильней орешь.
Мужику одно:
Не топтали б рожь.
А как пошла по ней
Тут рать Деникина -
В сотни верст легла
Прямо в никь она.
Над такой бедой
В стане белых ржут.
Валят сельский скот
И под водку жрут.
Мнут крестьянских жен,
Девок лапают.
"Так и надо вам,
Сиволапые!
Ты, мужик, прохвост!
Сволочь, бестия!
Отплати-кось нам
За поместия.
Отплати за то,
Что ты вешал знать.
Эй, в кнуты их всех,
Растакую мать!"

*

Ой ты, синяя сирень,
Голубой палисад!
На родимой стороне
Никто жить не рад.
Опустели огороды,
Хаты брошены,
Заливные луга
Не покошены.
И примят овес,
И прибита рожь. -
Где ж теперь, мужик,
Ты приют найдешь?

*

Но сильней всего

Те встревожены,
Что ночьми не спят
В куртках кожаных,
Кто за бедный люд
Жить и сгибнуть рад,
Кто не хочет сдать
Вольный Питер-град.

*

Там под Лиговом
Страшный бой кипит.
Питер траурный
Без огней. Не спит.
Миг - и вот сейчас
Враг проломит все,
И прощай мечта
Городов и сел...
Пот и кровь струит
С лиц встревоженных.
Бьют и бьют людей
В куртах кожаных.
Как снопы, лежат
Трупы по полю.
Кони в страхе ржут,
В страхе топают.
Но напор от нас
Все сильней, сильней.
Бьются восемь дней,
Бьются девять дней...
На десятый день
Не сдержался враг...
И пошел чесать
По кустам в овраг.
Наши взад им: "Крой!"
Пушки бьют, палят...
Ай да славный люд!
Ай да Питер-град!

*

А за Белградом,
Окол Харькова,
Кровью ярь мужиков
Перехаркана.
Бедный люд в Москву
Босиком бежит.
И от стона, о от рева
Вся земля дрожит.
Ищут хлеба они,
Просят милости,
Ну и как же злобной воле
Тут не вырасти?
У околицы

Гуляй-полевой
Собиралися
Буйны головы.
Да как стали жечь,
Как давай палить.
У Деникина
Аж живот болит.

*

Эх, песня,
Песня!
Есть ли что на свете
Чудесней?
Хоть под гусли тебя пой,
Хоть под тальяночку.
Не дадите ли бы мне,
Хлопцы,
Еще баночку?

*

Ах, яблочко,
Цвета милого!
Бьют Деникина,
Бьют Корнилова.
Цветочек мой,
Цветик маковый.
Ты скорей, адмирал,
Отколчакивай.
Там за степью гул,
Там за степью гром,
Каждый в битве защищает
Свой отцовский дом.
Курток кожаных
Под Донцом не счесть.
Видно, много в Петрограде
Этой масти есть.

*

В белом стане вопль,
В белом стане стон:
Обступает наша рать
Их со всех сторон.
В белом стане крик,
В белом стане бред.
Как пожар стоит
Золотой рассвет.
И во всех кабаках
Огни светятся...
Завтра многие друг с другом
Уж не встретятся.
И все пьют за царя,

За святую Русь,
В ласках знатных шлюх
Забывая грусть.

*

В красном стане храп,
В красном стане смрад.
Вонь портяночная
От сапог солдат.
Завтра, еле свет,
Нужно снова в бой.
Спи, корявый мой!
Спи, хороший мой!
Пусть вас золотом
Свет зари кропит.
В куртке кожаной
Коммунар не спит.

*

На заре, заре
В дождевой крутень
Свистом ядерным
Мы встречали день.
Подымая вверх,
Как тоску, глаза,
В куртке кожаной
Коммунар сказал:
"Братья, если здесь
Одолеют нас,
То октябрьский свет
Навсегда погас.
Будет крыть нас кнут,
Будет крыть нас плеть,
Всем весь век тогда
В нищете корпеть".
С горьким гневом рук,
Утерев слезу,
Ротный наш с тех слов
Сапоги разул.
Громко кашлянув,
"На, - сказал он мне, -
Дома нет сапог,
Передай жене".

*

На заре, заре
В дождевой крутень
Свистом ядерным
Мы сушили день.
Пуля входит в грудь,
Как пчелы ужал.

Наш отряд тогда
Впереди бежал.
За лощиной пруд,
А за прудом лог.
Коммунар ничком
В землю носом лег.
Мы вперед, вперед!
Враг назад, назад!
Мертвецы пусть так
Под дождем лежат.
Спите, храбрые,
С отзвучавшим ртом!
Мы придем вас всех
Хоронить потом.

*

Вот и кончен бой,
Машет красный флаг.
Не жалея пят,
Удирает враг.
Удивленный тем,
Что остался цел,
Молча ротный наш
Сапоги надел.
И сказал: "Жене
Сапоги не враз,
Я их сам теперь
Износить горазд".

*

Вот и кончен бой,
Тот, кто жив, тот рад.
Ай да вольный люд!
Ай да Питер-град
От полуночи
До синя утра
Над Невой твоей
Бродит тень Петра.
Бродит тень Петра,
Грозно хмурится
На кумачный цвет
В наших улицах.
В берег бьет вода
Пенной индевью...
Корабли плывут
Будто в Индию...

<1924>

Примечания

Газета "Заря Востока", Тифлис, 1924, N677, 14 сентября.

ногата, резань - старинные русские денежные единицы

Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве

Пастушонку Пете
Трудно жить на свете:
Тонкой хворостиной
Управлять скотиной.

Если бы корова
Понимала слово,
То жилось бы Пете
Лучше нет на свете.

Но коровы в спуске
На траве у леса,
Говоря по-русски,
Смыслят ни бельмеса.

Им бы лишь мычалось
Да трава качалась, -
Трудно жить на свете
Пастушонку Пете.

*

Хорошо весною
Думать под сосною,
Улыбаясь в дреме,
О родимом доме.

Май все хорошеет,
Ели все игольчей;
На коровьей шее
Плачет колокольчик.

Плачет и смеется
На цветы и травы,
Голос раздается
Звоном средь дубравы.

Пете-пастушонку
Голоса не новы, -
Он найдет сторонку,
Где звенят коровы.

Соберет всех в кучу,
На село отгонит,
Не получит взбучу -
Чести не уронит.

Любо хворостиной
Управлять скотиной,
В ночь у перелесиц
Спи и плюй на месяц.

*

Ну, а если лето -
Песня плохо спета.
Слишком много дела -
В поле рожь поспела.

Ах, уж не с того ли
Дни похорошели, -
Все колосья в поле,
Как лебяжьи шеи.

Но беда на свете
Каждый час готова,
Зазевался Петя -
В рожь зайдет корова.

А мужик, как взглянет,
Разведет ручищей
Да как в спину втянет
Прямо кнутовищей.

Тяжко хворостиной
Управлять скотиной.

*

Вот приходит осень
С цепью кленов голых,
Что шумит, как восемь
Чертенят веселых.

Мокрый лист с осины
И дорожных ивок
Так и хлещет в спину,
В спину и в загривок.

Елка ли, кусток ли,
Только вплоть до кожи
Сапоги промокли,
Одежонка - тоже.

Некому открыться,
Весь как есть пропащий.
Вспуганная птица
Улетает в чащу.

И дрожишь полсутки

То душой, то телом.
Рассказать бы утке -
Утка улетела.

Рассказать дубровам -
У дубровы опадь.
Рассказать коровам -
Им бы только лопать.

Нет, никто на свете
На обмокшем спуске
Пастушонка Петю
Не поймет по-русски.

Трудно хворостиной
Управлять скотиной.

*

Мыслит Петя с жаром:
То ли дело в мире
Жил он комиссаром
На своей квартире.

Знал бы все он сроки,
Был бы всех речистей,
Собирал оброки
Да дороги чистил.

А по вязкой грязи,
По осенней тряске
Ездил в каждом разе
В волостной коляске.

И приснился Пете
Страшный сон на свете.

*

Все доступно в мире, -
Петя комиссаром
На своей квартире
С толстым самоваром.

Чай пьет на террасе,
Ездит в тарантасе,
Лучше нет на свете
Жизни, чем у Пети.

Но всегда недаром
Служат комиссаром:
Нужно знать все сроки,
Чтоб сбирать оброки.

Чай, конечно, сладок,
А с вареньем - дважды,
Но блюсти порядок
Может, да не каждый.

Нужно знать законы,
Ну, а где же Пете?
Он еще иконы
Держит в волсовете.

А вокруг совета
В дождь и непогоду
С самого рассвета
Уймище народу.

Наш народ ведь голый,
Что ни день, то с требой, -
То построй им школу,
То давай им хлеба.

Кто им наморочил?
Кто им накудахтал?
Отчего-то очень
Стал им нужен трактор.

Ну, а где же Пете?
Он ведь пас скотину -
Понимал на свете
Только хворостину.

А народ суровый
В ропоте и гаме
Хуже, чем коровы,
Хуже и упрямей.

С эдаким товаром
Дрянь быть комиссаром.
Взяли раз Петрушу
За живот, за душу,

Бросили в коляску
Да как дали таску...
.....
Тут проснулся Петя.

*

Сладко жить на свете!

Встал, а день что надо, -
Солнечный, звенящий,
Легкая прохлада
Овевает чащи.

Петя с кротким словом
Говорит коровам:
"Не хочу и даром
Быть я комиссаром".

А над ним береза,
Веткой утираясь,
Говорит сквозь слезы,
Тихо улыбаясь:

"Тяжело на свете
Быть для всех примером.
Будь ты лучше, Петя,
Раньше пионером".

*

Малышам в острастку,
В мокрый день осенний,
Написал ту сказку
Я - Сергей Есенин.

Октябрь 1925

Примечания

Журнал "Пионер", Москва, 1925, N23.

Михаил Булгаков

Справочный материал

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года в Киеве. Отец Булгакова, Афанасий Иванович, был доцентом Киевской духовной академии. Он сам крестил своего сына, назвав его в честь хранителя города Киева. Мать писателя звали Варвара Михайловна (в девичестве она носила фамилию Покровская). Михаил был старшим из ее семерых детей. 1901 год – Михаил Булгаков поступает в первый класс Первой киевской мужской Александровской гимназии. 1901 – 1909 годы – учеба в гимназии. 1908 год – Булгаков знакомится со своей будущее женой Татьяной Лаппа, дочерью управляющего Казенной палаты. Она в то время тоже была гимназисткой и приезжала в Киев на каникулы из Саратова. 1909 год – поступление на медицинский факультет Киевского университета. Лето 1914 года – начало Первой мировой войны. Булгаков, студент-медик, помогает организовать в Саратове при

Казенной палате лазарет для раненых, работает там врачом. Апрель 1915 года – венчание Михаила Булгакова и Татьяны Николаевны Лаппа в Киево-Подольской церкви Николы Доброго. Через несколько недель после венчания Булгаков подает прошение о службе врачом в морском ведомстве. Комиссия признает его негодным к несению военной службы по состоянию здоровья. Однако будущему писателю разрешено работать в Киевском военном госпитале. Май – сентябрь 1916 года – Булгаков работает врачом в прифронтовых госпиталях в Каменец-Подольске, Черновицах. В это время зачислен врачом резерва Московского военно-санитарного управления для откомандирования в распоряжение смоленского губернатора с целью работы в земствах. Начинает практику в Никольской земской больнице Сычевского уезда Смоленской губернии. Октябрь 1916 года – в Киевском университете Михаил Булгаков получает диплом. Согласно документу, он утвержден «в степени лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской Империи сей степени присвоенными». К этому же периоду относятся первые литературные опыты Булгакова. Лето 1917 год – после проведения трахеотомии больному дифтерией ребенку Булгаков, чтобы не заразиться, делает себе прививку от этой болезни. Сильные побочные эффекты от прививки он заглушает морфием, после чего начинает употреблять морфий регулярно. Осень 1917 года – Михаил Булгаков переводится в Вяземскую городскую земскую больницу в должности заведующего инфекционным и венерическим отделением. Тогда же начинает работать над циклом рассказов автобиографического характера, где описывает случаи из своей медицинской практики в Никольской больнице. Февраль 1918 года – семья Булгаковых возвращается в Киев. Отчим Михаила Булгакова, врач Иван Павлович Воскресенский, помогает ему избавиться от морфинизма. Булгаков начинает частную врачебную практику, специализируясь по венерологии. Начало 1919 года – Михаил Булгаков мобилизован в армию Украинской Народной Республики, но спустя несколько дней дезертирует при отступлении войск из Киева. Осень 1919 года – по разным версиям, Булгаков или переходит на сторону Вооруженных сил Юга России, или попадает к ним в плен в ходе уличных боев. Там или иначе, он становится врачом 3-го Терского казачьего полка. Вместе с полком он едет на Кавказ, усмирять восставших в Чечен-ауле и Шали-ауле чеченцев. Во Владикавказе Булгаков работает в военном госпитале. Этот же период – Михаил Булгаков начинает профессионально заниматься литературой и оставляет медицину. Он становится корреспондентом газет «Грозный», «Кавказ» и «Кавказская газета». 26 ноября 1919 года – день первой публикации Булгакова. С подписью М.Б. в газете «Грозный» выходит фельетон «Грядущие перспективы». 1921 год – переезд в Москву. Булгаков поступает на службу в Главполитпросвет при Наркомпросе секретарем. Главполитпросветом руководит Н.К. Крупская, которая помогает Булгаковым устроиться в Москве. Конец 1921 года – отдел, где работает Булгаков, расформирован. Он устраивается в газету «Торгово-промышленный вестник» заведующим хроникой. В это же время пишет «Записки на манжетах». 1922 год – Булгаков сотрудничает с несколькими газетами сразу, в том числе с «Литературным приложением» к берлинской газете «Накануне». Его рассказы, репортажи, статьи и фельетоны выходят с подписью М.Б. и псевдонимами Булл, М. Булл, Михаил Булл и др. Писатель участвует в литературных кружках и сообществах («Зеленая лампа», «Никитинские субботники»). 1923 год – работа над романом «Белая гвардия». 1924 год – Михаил Булгаков разводится с Татьяной Николаевной. В этом же году знакомится с Любовью Евгеньевной Белозерской, своей будущей второй женой. С Белозерской они вместе работают над комедией из французской жизни (незакончена). 1925 год – написаны «Собачье сердце», «Зойкина квартира» и «Дни Турбиных». В апреле писатель женится на Белозерской. В этом же году выходит сборник произведений Михаила Булгакова «Дьяволиада». 1926 год – переезд в Ленинград. Булгаков быстро входит в круг поэтов и писателей, завязывает дружеские

отношения с Анной Ахматовой и Евгением Замятиным. Писателем интересуется ОГПУ, его не раз вызывает на допросы, связанные с его литературным творчеством. 1928 год – написана пьеса «Бег». 1929 год – выходит приказ о снятии с репертуара советских театров всех пьес драматурга. Михаил Булгаков пишет письма Сталину и Калинину с просьбой разрешить ему эмигрировать, поскольку здесь он не может зарабатывать. К этому же году относится знакомство с Еленой Сергеевной Шиловской, которая впоследствии станет третьей женой писателя. 1930 год – возвращение в Москву, где Булгаков становится режиссером МХАТ. Этому предшествует разговор лично с И.В. Сталиным. 1932 год – развод с Белозерской и женитьба на Е.С. Шиловской. Июнь 1934 года – Булгаков принят в Союз советских писателей. 1936 год – начало сотрудничества с Большим театром в качестве либреттиста и переводчика. 1938 год – Булгаков заканчивает работу над романом «Мастер и Маргарита». 1939 год – у Булгакова обнаружен гипертонический нефросклероз. Когда-то от этой же болезни умер его отец. Жена Булгакова Елена Сергеевна оформляет доверенность на ведение всех дел мужа. 10 марта 1940 года – Михаил Афанасьевич Булгаков умирает. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Тайному другу[63]

Впервые — Неделя. 1974. №43 (отрывок); Памир. 1987. №4 (полностью, с ошибками); Новый мир. 1987. №8 (полностью, с ошибками).

Черновая рукопись неоконченной повести датирована автором на первом листе: «Сентябрь 1929 г.».

Печатается по автографу, хранящемуся в НИОР РГБ (ф. 562, к. 5, ед. хр. 2).

Об истории этого сочинения в воспоминаниях Елены Сергеевны Булгаковой сказано: «В сентябре 1929 года, когда я отдыхала на Кавказе, Михаил Афанасьевич написал мне, что он „готовит к приезду подарок, достойный..." (У него была манера обрывать фразу на самом интересном месте.)

Вернувшись в Москву, я получила от него этот таинственный подарок. Он протянул мне тоненькую тетрадку, написанную его характерным почерком и открытую на первой странице.

Выглядела она так: „Тайному другу..."»

Более подробно об этом же она рассказала в письме к своему брату А. С. Нюренбергу 13 февраля 1961 г.: «Потом пришла весна, за ней лето, я поехала в Ессентуки на месяц. Получала письма от Миши, в одном была засохшая роза и вместо фотографии — только глаза его, вырезанные из карточки. И писал, что приготовил для меня достойный подарок, чтобы я ехала скорей домой. А подарок был — что он посвящает мне роман, показал черновик, тетрадь (она хранится у меня), на первой странице написано: „Тайному другу". Это — черновик его романа „Записки покойника" — из театральной жизни. А на экземпляре книги „Дьяволиада" он написал в 33-м году: „Тайному другу, ставшему явным, жене моей Елене. Ты совершишь со мной мой последний полет. Твой М. 21 мая". (День моих имянин)».

[63] Комментарии. В. И. Лосев

Елена Сергеевна была долгое время едва ли не самым близким другом писателя, с кем он мог доверительно общаться. Другом близким, но тайным. О знакомстве с Булгаковым она не любила рассказывать (как, кстати, и сам писатель), но в упомянутом уже письме к брату своему все-таки затронула эту тему. Вот ее свидетельство: «На днях будет еще один, 32-летний, юбилей — день моего знакомства с Мишей. Это было на масляной, у одних общих знакомых. По Киеву они были знакомы с Мишей, но он их не любил и хотел закончить бывать у них. С другой стороны, и Евгений Александрович (Е. А. Шиловский, муж Елены Сергеевны. — В. Л.), живя в какое-то время в Киеве, познакомился с ними... А мне почему-то не хотелось с ними знакомиться. Но тогда они позвонили и, уговаривая меня прийти, сказали, что у них будет знаменитый Булгаков, — я мгновенно решила пойти. Уж очень мне нравился он как писатель. А его они тоже как-то соблазнили, сказав, что придут интересные люди, словом, он пошел. Сидели мы рядом (Евгений Александрович был в командировке, и я была одна), у меня развязались какие-то завязочки на рукаве... я сказала, чтобы он мне завязал. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь... Тут же мы условились идти на следующий день на лыжах. И пошло. После лыж — генеральная „Блокады", после этого — актерский клуб, где он играл с Маяковским на бильярде, и я ненавидела Маяковского и настолько явно хотела, чтобы он проиграл Мише, что Маяковский уверял, что у него кий в руках не держится... Словом, мы встречались каждый день... Потом... ведет в какой-то дом... Открывает какой-то старик, высоченного роста, красивый... Я сидела на ковре около камина, старик чего-то ошалел: „Можно поцеловать вас?" — „Можно, говорю, целуйте в щеку". А он: „Ведьма! Ведьма! Приколдовала!" „Тут и я понял, — говорил потом всегда Миша, вспоминая с удовольствием этот вечер, вернее, ночь, — что ты ведьма! Присушила меня!"»

Для нас важно то обстоятельство, что Булгаков составлял важнейшее письмо правительству (письмо это действительно было судьбоносным) 28 марта 1930 г. вместе с «тайным другом» — Еленой Сергеевной, которая уже была посвящена во многие «тайны» писателя-отшельника. В этот решающий для писателя момент она сыграла колоссальную роль в изменении его судьбы. Мы сейчас не даем оценок этому влиянию, но только констатируем сам факт: Елена Сергеевна уже тогда, не будучи еще женой Булгакова, стремилась его спасти. В связи с этим представляют исключительный интерес записи В. Я. Лакшина, сделанные им во время бесед с Еленой Сергеевной. Цитируем: «Когда Булгаков соединился с Е. С, он сказал ей: „Против меня был целый мир — и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно". Близкий ему круг 20-х гг., либеральная „Пречистенка" выдвигала Булгакова как знамя. „Они хотели сделать из него распятого Христа. Я их за это возненавидела..."» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 414).

Самое важное в словах Елены Сергеевны — это ее потрясающе точное понимание сложившейся вокруг Булгакова ситуации в конце 20-х — начале 30-х гг.: для значительной части русской интеллигенции Булгаков был знаменем. Власть сознавала его оппозиционность. Причем эта оппозиционность была исключительно эффективна, поскольку свои взгляды, видение жизни Булгаков очень умно реализовал в своих произведениях, к которым было приковано пристальное внимание всех, кто так или иначе участвовал в общественно-политических событиях. За Булгаковым, за его судьбою внимательно наблюдали не только внутри страны, но и за рубежом. Но особенность ситуации заключалась в том, что «наблюдающих» было много (к ним относилась и «Пречистенка»), но реальное содействие писателю оказать они не могли. Булгаков, по сути, был обречен. Он это понимал совершенно отчетливо и с полным сознанием своего трагического положения создавал образ Иешуа

применительно не только к Ершалаиму древнему, но и к Ершалаиму московскому, «красному Ершалаиму» (цитата из первой редакции романа).

Итак, Булгаков был на краю пропасти, и никаких средств к спасению он не находил. О его намерениях можно судить по воспоминаниям Е.С.Булгаковой, которые записал В.Я.Лакшин: «В 1929 году, „лишенный огня и воды", Булгаков готов был наняться рабочим, дворником, — его никуда не брали. После разговора по телефону со Сталиным, когда ему была обещана работа в Художественном театре, он бросил револьвер в пруд. Кажется, в пруд Новодевичьего монастыря...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 414). Писатель погибал на глазах интеллигенции, и все ждали естественной развязки... Каких-либо активных действий в его защиту не было («Против меня был целый мир — и я один»), и лишь Елена Сергеевна, «тайный друг», проявила упорство в его защите. Для нее Булгаков был не «знаменем», а любимым человеком, которого во что бы то ни стало нужно было спасти. Таким спасительным чудом явилось письмо правительству от 28 марта 1930 г., которое Елена Сергеевна и печатала, и разносила по адресатам. Распятие писателя тогда не состоялось, оно было до поры отложено московским прокуратором. Это дало повод недоброжелателям говорить о том, что Булгаков стал «иным». Отчасти упрекали в этом Елену Сергеевну.

Несомненно, Елена Сергеевна оказывала на писателя сильнейшее влияние, стремясь помочь ему занять видное место в реальной театральной и литературной жизни столицы... Но чего-либо решительного в этом направлении она не добилась. «Изменить» Булгакова было невозможно.

Повесть «Тайному другу» характерна прежде всего тем, что Булгаков в ней естествен и открыт, многие факты из его жизни стали известны именно из этого неоконченного автобиографического сочинения... Не исключено, что замысел «театральной повести», а затем и «театрального романа» возник у писателя после выхода в свет превосходной книжечки Надежды Бром-лей «Птичье королевство. Рассказ актрисы» (М., 1929), в которой известная актриса и режиссер описала в сатирически-иронической форме театральную жизнь столицы.

Исповедь «Тайному другу» занимала в ряду творческих замыслов писателя свое место: она дополняла автобиографическими чертами тот трагический путь истинного художника, который Булгакову суждено было пройти в условиях господства «Кабалы святош» (замысел пьесы «Кабала святош» со всей очевидностью вытекал из реальной обстановки, сложившейся вокруг писателя).

Повесть обрывается на полуслове. В том же году Булгаков продолжил свое театральное повествование под названием «Театр», но в начале 1930 г. уничтожил вместе с другими произведениями...

Тайному другу

Дионисовы мастера. Алтарь Диониса. Сцена.
«Трагедия машет мантией мишурной ».

I.ОТКРЫТКА

Бесценный друг мой! Итак, Вы настаиваете на том, чтобы я сообщил Вам в год катастрофы, каким образом я сделался драматургом? Скажите только одно — зачем Вам это? И еще: дайте слово, что Вы не отдадите в печать эту тетрадь даже и после моей смерти.

II. ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА

Видите ли: в Москве в доисторические времена (годы 1921—1925) проживал один замечательный человек. Был он усеян веснушками, как небо звездами (и лицо, и руки), и отличался большим умом.

Профессия у него была такая: он редактор был чистой крови и Божьей милостью и ухитрился издавать (в годы 1922—1925!!) частный толстый журнал! Чудовищнее всего то, что у него не было ни копейки денег. Но у него была железная неописуемая воля, и, сидя на окраине города Москвы в симпатичной и грязной квартирке, он издавал.

Как увидите дальше, издание это привело как его, так и ряд других лиц, коих неумолимая судьба столкнула с этим журналом, к удивительным последствиям.

Раз человек не имеет денег, а между тем болезненная фантазия его пожирает, он должен куда-то бежать. Мой редактор и побежал к одному.

И с ним говорил.

И вышло так, что тот взял на себя издательство. Откуда-то появилась бумага, и книжки, вначале тонкие, а потом и толстые, стали выходить.

И тотчас же издатель прогорел. Но ведь как! Начисто, форменно. От человека осталась только дымящаяся дыра.

Вы спросите, к чему я все это рассказываю? Еще бы мне не рассказывать! Вы спрашиваете, как я сделался драматургом, вот я и рассказываю.

Да. Так вот, прогорел.

Прогорел настолько, что, когда моя судьба закинула меня именно в тот дом и квартиру, где приютился прогоревший, я видел его единственное средство (по его мнению) к спасению.

Средство это заключалось в следующем. На большом листе бумаги были акварелью нарисованы вожди революции 1917 года, окруженные венком из колосьев, серпов и молотов. Серпы были нарисованы фиолетовой краской, молоты черной, а колосья желтой. Вожди были какие-то темные, печальные и необыкновенно непохожие.

Все это нарисовал собственноручно прогоревший страдалец, за коим в это время числилось начету казенного 18 тысяч (Вы сами понимаете, что основное его дело был, конечно, не этот частный журнал), долгу казне 40 тысяч и частным лицам 13 тысяч.

Зачем?!

Оказалось, изволите ли видеть, что какое-нибудь издательство купит это произведение искусства, отпечатает его в бесчисленном множестве экземпляров, все учреждения раскупят его и развешают по стенам у себя.

Впоследствии я нигде не видел его. Из чего заключаю, что не купили.

Впрочем, и сам автор рисунка недолго просидел в комнате на Пречистенке. После того как в этой комнате остался только один диван, страдалец бежал. Куда? Мне неизвестно. Может быть, сейчас, когда Вы читаете эти строки, он в Саратове или Ростове-на-Дону, а может быть, и вернее всего, в Берлине. Но где бы он ни был, нет никакой возможности мне получить одну тысячу с чем-то рублей.

Итак: книжка журнала была в типографии, страдалец в Буэнос-Айресе, редактор...

Вы интересуетесь вопросом о том, где же брал мой редактор деньги до встречи со страдальцем?

Теперь этот вопрос выяснен, и догадался я сам (я вижу мысленно, как Вы смеетесь! Если бы Вы были возле меня, наверное, Вы сказали бы, что вряд ли я догадался. Ах, неужто, друг мой, я уж действительно безнадежно глуп? Вы умнее меня, с этим согласен я...). Ну, догадался я: он продал душу дьяволу. Сын погибели и снабжал его деньгами. Но в обрез, так что хватало только на бумагу и вообще типографские расходы, авторам же он платил так, что теперь, при воспоминании об этом, я смеюсь над собой.

Когда же дьяволовы деньги кончились и страдалец уехал в Ташкент, он нашел нового издателя. Этот не был дьяволом, не был страдальцем. Это был жулик.

Скажу Вам, мой нежный друг, за свою страшную жизнь я видел прохвостов. Меня обирали. Но такого негодяя, как этот, я не встречал. Нет сомнений, что, если бы такой теперь встретился на моем пути, я сумел бы уйти благополучно, потому что стал опытен и печален — знаю людей, страшусь за них, но тогда... Мой Бог, поймите, дорогая, это не было лицо, это был паспорт. И потом скажите, кому, кому, кроме интеллигентской размазни, придет в голову заключить договор с человеком, фамилия которого Рвацкий! Да не выдумал я! Рвацкий. Маленького роста, в вишневом галстухе, с фальшивой жемчужной булавкой, в полосатых брюках, ногти с черной каймой, а глаза...

Но редактор, ах, редактор.

Я прихожу к нему.

Он говорит:

— Ну, теперь, дружок, поезжайте в контору к Рвацкому и подписывайте с ним договор. Все наладилось! Ах, какая прелесть.

Я ответил:

— Послушайте, Рудольф Рафаилович. Я видел Рвацкого. Я его боюсь. Рудольф Рафаилович, у него фальшивая булавка в галстухе. Лучше я с вами заключу договор.

Он улыбнулся, он сильный человек, он Тореодор из Гренады.

Нарисовал кружок на бумаге и сказал:

— Ребенок! Вы неопытны в жизни, как всякий писатель. Видите кружок? Это вы.

На бумаге появился второй кружок:

— Это я — редактор.

— Тэк-с.

Третий кружок обозначал, оказывается, издателя Рвацкого.

— Теперь смотрите: я соединяю писателя и с редактором, и с издателем. Видите?

Получилась геометрическая фигура — равнобедренный треугольник.

— От издателя идет нить ко мне, и от него же идет нить к писателю. Мы с вами связаны только художественно: рукопись какую-нибудь прочитать, побеседовать о Гоголе... Денежных расчетов мы с вами никаких вести не будем и не можем вести. Я с вами могу говорить об Анатоле Франсе, а с Рвацким... нет, не могу, ибо он не понимает, что такое Анатоль Франс. Но с вами я не могу говорить о деньгах, и по двум причинам — во-первых, деньги не должны интересовать писателя, а, во-вторых, вы в них ничего не понимаете. Голубь, договоры заключаются с издателями, а не с редакторами, и, кроме того, Рвацкий уезжает в 2 1/2 часа дня в Наркомпрос, а сейчас без четверти два, так что поспешите, а не сидите у меня вялый и испуганный...

Вертелось у меня на языке:

— А почему же первый наш договор я подписал с вами?

Но, уже надевая свое потертое пальтишко в передней, я спросил все-таки глухо:

— Но вы видели его глаза? У него треугольные веки, а глаза стальные и смотрят в угол.

Ответил он:

— Следующего издателя я достану с такими глазами, как у вас, — хрустальными. Вы, однако, человек избалованный. Внимательно прочтите то, что будете подписывать, а также и векселя.

Не стану Вам, мой друг, описывать контору Семена Семеновича Рвацкого. Одно скажу, поразила меня вывеска: «Фотографические принадлежности». При чем здесь романы? Оглушительнее гораздо было то, что абсолютно ни одной фотопринадлежности в конторе не было. Лежали пять пакетов небольшого размера, и верхний был вскрыт, и я прочитал на коробочках надпись «Фенацетин». Фенацетин, мой друг, как Вам известно, конечно, не что иное, как пара-ацет-фенетидин, и примениться в фотографии может лишь в одном случае — это если у фотографа случится мигрень. Впрочем, я ведь фотографического дела не знаю, другое интересно: во втором углу лежали штук сто коробок килек. Так вот: Рвацкий, по словам редактора, в 2 1/2 часа должен был ехать в Наркомпрос. Кильки в Наркомпросе предлагать? Да? Или, наоборот, из Наркомпроса ему выдали кильки, и он хотел предъявить претензию, что они тухлые?

Масса народу толклось в конторе Рвацкого. Все были в шляпах и почему-то встревожены. Я слышал слова: «вексель», «Шапиро» и «проволока».

Принял меня Рвацкий как привидение. У меня создалось такое впечатление, что я его испугал. Твердо могу сказать, что ему мучительно не хотелось подписывать ни векселя, ни договор.

Выходило из его слов такое: что и договор, и векселя это предрассудок и что неужели я думаю, что он не заплатит мне? Представьте себе, был момент, когда я дрогнул... Вижу, как Вы топаете ногой. Он хотел, чтобы я написал ему бумагу, что разрешаю ему печатать роман. Вы хохочете? Погодите. У меня хватило твердости. Я почувствовал, что я бледнею, и пошел к выходу. Тогда он меня вернул, мучительно пожимая плечами; при общих неодобрительных взглядах послал в лавочку за вексельной бумагой. Словом, я вышел из конторы через час, имея в кармане четыре векселя на четыре ничтожных суммы и договор. Страшный стыд терзал меня за то, что я у Рвацкого взял векселя, я писатель, и у меня векселя в кармане!

Вы нетерпеливый, пылкий человек и, конечно, знаете, что было дальше: то есть он исчез через месяц, векселя оказались фальшивыми, он не Рвацкий вовсе, роман не вышел...

Нет, нет, ничего такого. Зачем такой примитив. Гораздо хуже вышло.

Врать не стану, по всем четырем векселям я получил, правда, не сполна, а меньше (до срока их выкупили у меня), роман вышел, но не полностью, а до половины! Рвацкий исчез, это так, но не через месяц, а в тот же день. И не в Наркомпрос он ехал, как я узнал потом случайно, а на поезд. И, понимаете, с тех пор я его не видал никогда (однако, надеюсь, что рано или поздно увижу, если буду жив)!

Но из-за того, что я в пыльный день сам залез зачем-то в контору к Рвацкому и, как лунатик, поставил свою подпись рядом с его, я:

1) принимал у себя на квартире три раза черт знает кого,

2) был в банке три раза,

3) был у нотариуса,

4) был еще где-то,

5) судился с редактором в третейском суде. Причем пять взрослых мужчин, разбирая договоры: мой с редактором, редактора со страдальцем, мой с Рвацким и редактора с Рвацким, — пришли в исступление. Даже Соломон не мог бы сказать, кто владеет романом, почему роман не допечатан, какие кильки лежали в конторе, куда девался сам Рвацкий.

Однако сообразить удалось одно: что я на три года по кабальному договору отдал свой роман некоему Рвацкому, что сам Рвацкий неизвестно где, но у Рвацкого есть доверенные в Москве, и, стало быть, мой роман похоронен на 3 года, я продать его второй раз не имею права. Кончилось тем, что я расхохотался и плюнул.

Курьезная подробность: я своими глазами видел в телефонной книжке телефон Рвацкого С. С. Когда же состоялся суд, я, заглянув в ту же самую телефонную книгу, не нашел там Рвацкого.

Богом клянусь — говорю правду!

Этот номер меня потряс. Каким образом можно вытравить свою фамилию из всех телефонных книг в Москве?

Теперь забегаю вперед: прошло несколько лет, и, как Вы сами догадываетесь, Рвацкий отыскался за границей. И там овладел моим романом и пьесой. Каким образом ему удалось провезти за границу роман, увесистый, как нагробная плита, мне непонятно.

Словом, мне стыдно. Такое разгильдяйство все-таки непростительно.

Но послушайте дальше. В один прекрасный день грянула весть, что редактор мой Рудольф арестован и высылается за границу. И точно, он исчез. Но теперь я уверен, что его не выслали, ибо человек канул так, как пятак в пруд. Мало ли кого куда не высылали или кто куда не ездил в те знаменитые годы 1921—1925! Но все же, бывало, улетит человек в Мексику, к примеру. Кажется, чего дальше. Ан нет, получишь вдруг фотографию — российская блинная физиономия под кактусом. Нашелся! А этот не в Мексику, нет, говорят, был выслан всего только в Берлин. И ни звука. Ни слуху ни духу.

Нету его в Берлине. Нет и не может быть.

И лишь потом дело выяснилось. Встречаю я как-то раз умнейшего человека. Рассказал ему все. А он и говорит, усмехаясь:

— А знаете что, ведь вашего Рудольфа нечистая сила утащила, и Рвацкого тоже.

Меня осенило: а ведь верно.

— И очень просто. Ведь сами вы говорили, что Рудольф продал душу Дьяволу?

— Так, да.

— Ну, натурально, срок-то ведь прошел, ну, является черт и говорит: пожалуйте...

— Ой, Господи! Где же они теперь?

Вместо ответа он показал пальцем в землю, и мне стало страшно.

III. ПРИСТУП СЛАБОСТИ

ФАУСТ, КАК САРДАМСКИЙ ПЛОТНИК,

СОВЕРШЕННО БЕССМЕРТЕН.

НЕВРАСТЕНИЯ

Мне приснился страшный сон. Будто бы был лютый мороз и крест на чугунном Владимире в неизмеримой высоте горел над замерзшим Днепром.

И видел еще человека, еврея, он стоял на коленях, а изрытый оспой командир петлюровского полка бил его шомполом по голове, и черная кровь текла по лицу еврея. Он погибал под стальной тростью, и во сне я ясно понял, что его зовут Фурман, что он портной, что он ничего не сделал, и я во сне крикнул, заплакав:

— Не смей, каналья!

И тут же на меня бросились петлюровцы, и изрытый оспой крикнул:

— Тримай його!

Я погиб во сне. В мгновение решил, что лучше самому застрелиться, чем погибнуть в пытке, и кинулся к штабелю дров. Но браунинг, как всегда во сне, не захотел стрелять, и я, задыхаясь, закричал.

Проснулся, всхлипывая, и долго дрожал в темноте, пока не понял, что я безумно далеко от Владимира, что я в Москве, в моей постылой комнате, что это ночь бормочет кругом, что это 23-й год и что уж нет давным-давно изрытого оспой человека.

Хромая, еле ступая на больную ногу, я дотащился к лампе и зажег ее. Она осветила скудность и бедность моей жизни. Я увидел желтые встревоженные зрачки моей кошки.

Я подобрал ее год назад у ворот. Она была беременна, а какой-то человек, проходя, совершенно трезвый, в черном пальто, ударил ее ногой в живот, и женщина у ворот видела это. Бессловесный зверь, истекая кровью, родил мертвых двух котят и долго болел у меня в комнате, но не зачах, я выходил его. Кошка поселилась у меня, но меня тоже боялась и привыкала необыкновенно трудно. Моя комната находилась под крышей и была расположена так, что я мог выпускать ее гулять на крышу и зимой и летом. А в коридор квартиры я ее не выпускал, потому что боялся, что я из-за нее попаду в тюрьму. Дело в том, что однажды ко мне пристали в темном переулке у Патриарших Прудов хулиганы. Я машинально схватился за карман, но вспомнил, что он уже несколько лет пуст. Тогда я на Сухаревке у одной подозрительной личности купил финский нож и с тех пор ходил всегда с ним. Так вот, я боялся, что, если кто-нибудь еще раз ударит кошку, меня посадят.

Она затосковала, увидя, что я поднялся, открыла глаза и стала следить за мною хмуро и подозрительно. Я глядел на потертую клеенку и растравлял свои раны. Я вспомнил, как двенадцать лет тому назад, когда я был юношей, меня обидел один человек, и обида осталась неотомщенной. И мне захотелось уехать в тот город, где он жил, и вызвать его на дуэль. Тут же вспомнил, что он уже много лет гниет в земле и праха даже его не найдешь. Тогда, как злые боли, вышли в памяти воспоминания еще о двух обидах. Они повлекли за собой те обиды, которые я нанес сам слабым существам, и тогда все ссадины на душе моей загорелись. Я, тоскуя, посмотрел на провод. Он свешивался и притягивал меня. Я думал о безнадежности моего положения, положив голову на клеенку. Была жизнь и вдруг разлетелась как дым, и я почему-то оказался в Москве, совершенно один в комнате, и еще на голову мою навязалась эта обиженная дымчатая кошка. Каждый день я должен был покупать ей на гривенник мяса и выпускать ее гулять, и, кроме того, она рожала три раза в год, и всякий раз мучительно, невыносимо, и приходилось ей помогать, а потом платить за то, чтобы одного котенка утопили, а другого растить и затем умильно предлагать кому-нибудь в доме, чтобы взяли и не обижали.

Обуза, обуза.

Из-за чего же это все?

Из-за дикой фантазии бросить все и заняться писательством.

Я простонал и пошел к дивану. Свет исчез. Во тьме некоторое время пели пружины простуженными голосами. Обиды и несчастья мало-помалу начали расплываться.

Опять был сон. Но мороз утих, и снег шел крупный и мягкий. Все было бело. И я понял, что это Рождество. Из-за угла выскочил гнедой рысак, крытый фиолетовой сеткой.

— Гись! — крикнул во сне кучер. Я откинул полость, дал кучеру деньги, открыл тихую и важную дверь подъезда и стал подниматься по лестнице.

В громадной квартире было тепло. Боже мой, сколько комнат! Их не перечесть, и в каждой из них важные, обольстительные вещи. От пианино отделился мой младший брат. Смеялся, поманил меня пальцем. Несмотря на то, что грудь его была прострелена и залеплена черным пластырем, я от счастья стал бормотать и захлебываться.

— Значит, рана твоя зажила? — спросил я.

— О, совершенно.

На пианино над раскрытыми клавишами стоял клавир «Фауста», он был раскрыт на той странице, где Валентин поет.

— И легкое не затронуто?

— О, какое легкое.

— Ну, спой каватину.

Он запел.

От парового отопления волнами ходило тепло, сверкали электрические лампы в люстре, и вышла Софочка в лакированных туфлях. Я обнял ее. Потом сидел на своем диване и вытирал заплаканное лицо. Мне захотелось увидеть какого-нибудь колдуна, умеющего толковать сны. Но и без колдуна я понял этот сон.

Фиолетовая сеть на рысаке — это был год 1913-й. Блестящий, пышный год. А простреленная грудь, это неверно — это было гораздо позже — 1919-й. И в квартире этой брат быть не мог, это я когда-то жил в квартире. На Рождестве я вел под руку Софочку в кинематограф, снег хрустел у нее под ботинками, и Софочка хохотала.

Во всяком случае, черный пластырь, смех во сне, Валентин означать могли только одно — мой брат, которого в последний раз я видел в первых числах 1919 года, убит. Где и когда, я не знаю, а может быть, не узнаю никогда. Он убит, и, значит, от всего, что сверкало, от Софочки, ламп, Жени, фиолетовых помпонов остался только я один на продранном диване в Москве ночью 1923 года. Все остальное погибло.

Ночь беззвучна. Пахнет плесенью. Не понимаю только одного, как могло мне присниться тепло? В комнате у меня холодно.

«Я развинтился, я развинтился», — подумал я, вздрагивая. Сердце то уходило куда-то вниз, то оказывалось на месте. «Нужно прежде всего найти бром».

Вздыхая, я надел стоптанные туфли. Тотчас укололо пятку, в туфлю попала кнопка. «Пусть колет меня, так легче».

Старая спальная шелковая рубашка послужила достаточно. Она разделилась на продольные полосы, но я ею дорожил как воспоминанием. Сверх рубашки набросил пальто и пополз, буквально пополз к столу.

«Интересно, в какую секунду я умру? Дойдя до стола или раньше? Дойдя до стола, следует написать записку — о чем? Вздор! Не поддаваться? Это просто отравление никотином, и вот предсердечная тоска, страх смерти».

Во всяком случае, на пути к столу я не умер. Начал умирать за столом. Кошка давно уже следила за мной.

«Кто-то, зверь, возьмет тебя?»

Я взял ручку и написал на клочке бумаги:

«Мурочка! Возьмите, пожалуйста, мою кошку к себе и не давайте Булдину обижать ее...»

Руки похолодели и покрылись холодной влагой. Не успею дописать.

Но я успел дописать.

«За это все вещи, находящиеся в комнате, дарю соседке моей, Марии Потаповне Кленовой».

Проще всего крикнуть: «Мурочка!»

Но я смутился от стыда. Разбужу не только Мурочку, но и Тараканова с женой. Фу, мерзость!

Я сдержался.

«Это смерть от разрыва сердца», — подумал я и почувствовал, что она оскорбляет меня. Смерть в этой комнате — фу... Войдут... галдеть будут... Хоронить не на что. В Москве, в пятом этаже, один...

Неприличная смерть.

Хорошо умирать в квартире на чистом душистом белье или в поле. Уткнешься головой в землю, подползут к тебе, поднимут, повернут лицом к солнцу, а у тебя уж глаза стеклянные.

Но смерть что-то не шла.

«Бром? К чему бром? Разве бром помогает от разрыва?»

Все же руку я опустил к нижнему ящику, открыл его, стал шарить в нем, левой рукой держась за сердце. Брому не нашлось, обнаружил два порошка фенацетину и несколько стареньких фотографий. Вместо брома я выпил воды из холодного чайника, после чего мне показалось, что смерть отсрочена.

Прошел час. Весь дом по-прежнему молчал, и мне казалось, что во всей Москве я один в каменном мешке. Сердце давно успокоилось, и ожидание смерти уже представлялось постыдным. Я притянул насколько возможно мою казарменную лампу к столу и поверх ее зеленого колпака надел колпак из розовой бумаги, отчего бумага ожила. На ней я выписал слова: «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого выйдет. Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз. И страшного человека в оспе, мои сны. Писать вообще очень трудно, но это почему-то выходило легко. Печатать этого я вообще не собирался.

Встал я из-за стола, когда в коридоре послышалось хриплое покашливание бабки Семеновны, женщины, ненавидимой мною всей душой за то, что она истязала своего сына, двенадцатилетнего Шурку. И сейчас даже, когда со времени этой ночи прошло шесть лет, я ненавижу ее по-прежнему.

Я откинул штору и увидел, что лампа больше не нужна, на дворе синело, на часах было семь с четвертью. Значит, я просидел за столом пять часов.

IV. ТРИ ЖИЗНИ

С этой ночи каждую ночь я садился к столу и писал часов до трех-четырех. Дело шло легко ночью. Утром произошло объяснение с бабкой Семеновной.

— Вы что же это. Опять у вас ночью светик горел?

— Так точно, горел.

— Знаете ли, электричество по ночам жечь не полагается.

— Именно для ночей оно и предназначено.

— Счетчик-то общий. Всем накладно.

— У меня темно от пяти до двенадцати вечера.

— Неизвестно тоже, чем это люди по ночам занимаются. Теперь не царский режим.

— Я печатаю червонцы.

— Как?

— Червонцы печатаю фальшивые.

— Вы не смейтесь, у нас домком есть для причесанных дворян. Их можно туда поселить, где интеллигенция, нам, рабочим, эти писания не надобны.

— Бабка, продающая тянучки на Смоленском, скорее частный торговец, чем рабочий.

— Вы не касайтесь тянучек, мы в особняках не жили. Надо будет на выселение вас подать.

— Кстати, о выселении. Если вы, Семеновна, еще раз начнете бить по голове Шурку и я услышу крик истязуемого ребенка, я подам на вас жалобу в народный суд, и вы будете сидеть месяца три, но мечта моя посадить вас на больший срок.

Для того чтобы писать по ночам, нужно иметь возможность существовать днем. Как я существовал в течение времени с 1921 г. по 1923-й, я Вам писать не стану. Во-первых, Вы не поверите, во-вторых, это к делу не относится.

Но к 1923 году я возможность жить уже добыл.

На одной из своих абсолютно уж фантастических должностей со мной подружился один симпатичный журналист по имени Абрам.

Абрам меня взял за рукав на улице и привел в редакцию одной большой газеты, в которой он работал. Я предложил по его наущению себя в качестве обработчика. Так назывались в этой редакции люди, которые малограмотный материал превращали в грамотный и годный к печатанию.

Мне дали какую-то корреспонденцию из провинции, я ее переработал, ее куда-то унесли, и вышел Абрам с печальными глазами и, не зная куда девать их, сообщил, что я найден негодным.

Из памяти у меня вывалилось совершенно, почему через несколько дней я подвергся вторичному испытанию. Хоть убейте, не помню. Но помню, что уже через неделю приблизительно я сидел за измызганным колченогим столом в редакции и писал, мысленно славословя Абрама.

Одно Вам могу сказать, мой друг, более отвратительной работы я не делал во всю свою жизнь. Даже сейчас она мне снится. Это был поток безнадежной серой скуки, непрерывной и неумолимой. За окном шел дождь.

Опять-таки не припоминаю, почему мне было предложено писать фельетоны. Обработки мои здесь не играли никакой роли. Напротив, каждую секунду я ждал, что меня вытурят, потому что, я Вам только скажу по секрету, работник я был плохой, неряшливый, ленивый, относящийся к своему труду с отвращением.

Возможно (и кажется так), что сыграла здесь роль знаменитая, неподражаемая газета «Сочельник». Издавалась она в Берлине, и в ней я писал фельетоны. Какая-то дама, вся в шелках и кольцах, представительница этой газеты в Москве.

.....

.....

— Из этой заметочки лучше всего бы фельетон сделать?

Секретарь взглянул на меня с удивлением.

— Но ведь вы не умеете?

Я покашлял.

— Попробуйте, — вдруг решительно сказал секретарь. Я попробовал. Не припомню решительно, в чем там было дело. Какая-то лестница в библиотеке обледенела, рабочие падали с книжками. На другой день это напечатали. Дальше — больше.

Среди скуки... ...В один прекрасный день ввалился наш знаменитый Июль, помощник редактора (его звали Юлий, а прозвали Июль), симпатичный человек, но фанатик, и заявил:

— Михаил, уж не ты ли пишешь фельетоны в «Сочельнике»?

Я побледнел, решил, что пришел мой конец. «Сочельник» пользовался единодушным повальным презрением у всех на свете: его презирали заграничные монархисты, московские беспартийные и, главное, коммунисты. Словом, это была еще в мире неслыханная газета.

Я побледнел. Но, оказывается, что Июль хотел, чтобы я писал такие же хорошие фельетоны, как и в «Сочельнике». Я объяснил, что это, к сожалению, невозможно, что весь «Сочельник» другого стиля, фельетоны в нем также, но что я приложу все старания к тому, чтобы в газете Июля фельетоны выходили тоже хорошими.

И тут произошел договор. Меня переводили на жалованье повыше того, чем у обработчика, а я за это обязывался написать восемь небольших фельетонов в месяц.

Так дело и пошло.

И стал я писать. Я писал о том, как.....

.....

Все это было мило, но вот в чем дело. Открою здесь еще один секрет: сочинение фельетона строк в семьдесят пять — сто занимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от 18 до 22 минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихикание с машинисткой, — 8 минут. Словом, в полчаса все заканчивалось. Я подписывал фельетон или каким-нибудь глупым псевдонимом, или иногда зачем-то своей фамилией и нес его или к Июлю, или к другому помощнику редактора, который носил редко встречающуюся фамилию Навзикат.

Этот Навзикат был истинной чумой моей в течение лет трех. Выяснился Навзикат к концу третьих суток. Во-первых, он был неумен. Во-вторых, груб. В-третьих — заносчив. С беспартийными сотрудниками, подчиненными ему, держал себя вызывающе, оскорблял их подозрительностью. В газетном деле ничего не понимал. Так что почему его назначали на столь ответственный пост, недоумеваю.

Навзикат начинал вертеть фельетон в руках и прежде всего искал в нем какой-нибудь преступной мысли по адресу самого советского строя. Убедившись, что явного вреда нет, он начинал давать советы и исправлять фельетон.

В эти минуты я нервничал, курил, испытывал желание ударить его пепельницей по голове.

Испортив по возможности фельетон, Навзикат ставил на нем пометку: «В набор», и день для меня заканчивался. Далее весь свой мозг я направлял на одну идею, как сбежать. Дело в том, что Июль лелеял такую схему в голове: все сотрудники, в том числе и фельетонисты, приходят минута в минуту утром и сидят до самого конца в редакции, стараясь дать государству как можно более. При малейших уклонениях от этого честный Июль начинал худеть и истощаться.

Я же лелеял одну мысль, как бы удрать из редакции домой, в комнату, которую я ненавидел всею душой, но где лежала груда листов. По сути дела, мне совершенно незачем было оставаться в редакции. И вот происходил убой времени. Я, зеленея от скуки, начал таскаться из отдела в отдел, болтать с сотрудниками, выслушивать анекдоты, накуриваться до отупения.

Наконец, убив часа два, я исчезал.

Таким образом, мой друг, я зажил тройной жизнью. Одна в газете. День. Льет дождь. Скучно. Навзикат. Июль. Уходишь, в голове гудит и пусто.

Вторая жизнь. Днем после газеты я плелся в московское отделение редакции «Сочельника». Эта вторая жизнь мне нравилась больше первой. Там я мог несколько развернуть свои мысли.

Нужно Вам сказать, что, живя второю жизнью, я сочинил нечто, листа на четыре приблизительно печатных. Повесть? Да нет, это была не повесть, а так что-то такое вроде мемуаров.

Отрывок из этого произведения искусства мне удалось напечатать в литературном приложении к «Сочельнику». Второй отрывок мне весьма удачно пришлось продать одному владельцу частного гастрономического магазина. Он пылал страстью к литературе и, для того чтобы иметь возможность напечатать свою новеллу под названием «Злодей», выпустил целый альманах. Там была, стало быть, новелла лавочника, рассказ Джека Лондона, рассказы советских писателей и отрывок Вашего слуги. Авторам он заплатил. Часть деньгами, часть шпротами. Очень следует отметить, что я впервые столкнулся здесь с цензурой. У всех было все благополучно, а у меня цензура вычеркнула несколько фраз. Когда эти фразы вывалились, произведение приобрело загадочный и бессмысленный характер и, вне всяких сомнений, более контрреволюционный. Дальше заело. Сколько ни бегал по Москве с целью продать кому-нибудь кусок из моего произведения, я ничего не достиг. Кусок не прельщал никого, равно как и произведение в целом. В одном, впрочем, месте мне сказал редактор, что считает написанное мной контрреволюционным и настойчиво советует мне более в таком роде не писать. Темные предчувствия тогда овладели мной, но быстро прошли. На выручку пришел «Сочельник». Приехавший из Берлина один из заправил этого органа, человек с желтым портфелем из кожи какого-то тропического гада, прочитав написанное мной, изъявил желание напечатать полностью мое произведение.

Отделение «Сочельника», пользуясь нищетой, слякотью осени, предложило по 8 долларов за лист (16 рублей).

Помню, то стыдясь за них, то изнывая в бессильной злобе, я получил кучку разноцветных, безудержно падающих советских знаков.

Три месяца я ждал выхода рукописи и понял, что она не выйдет. Причина мне стала известна, над повестью повис нехороший цензурный знак. Они долго с кем-то шушукались и в Москве, и в Берлине.

И настали тем временем морозы. Обледенела вся Москва, и в драповом пальто как-то раз вечером я пришел в «Сочельник» и увидел там Рудольфа. Рудольф сидел в дьяконской шубе и с мокрыми ресницами. Разговорились.

— А вы ничего не сочиняете? — спросил Рудольф.

Я рассказал ему про свое сочинение. Было известно всем, что Рудольф очень любит печатать только людей, у которых уже есть имя, журнал свой (тогда он еще был тонким) он вел умно.

Снисходительно улыбнувшись, Рудольф сказал мне:

— А покажите-ка.

Я тотчас вынул рукопись из кармана (я даже спал с нею). Рудольф прочитал тут же в шубе все четыре листа и сказал:

— А знаете ли что? Я напечатаю отрывок.

Я всячески постарался не выдавать Рудольфу своей радости, но, конечно, выдал ее. Напечатать у Рудольфа что-нибудь мне было очень приятно, мне, человеку зимой в драповом пальто.

Честность всегда приводит к неприятностям. Я давно уже знаю, что жулики живут, во-первых, лучше честных, а во-вторых, пользуются дружным уважением. И все-таки я не удержался, чтобы не предупредить Рудольфа о том, что никто не хочет печатать этой вещи, потому что боятся цензуры. Сказал и испугался, что Рудольф вернет мне рукопись. Но на Рудольфа, к удивлению моему, это не произвело никакого впечатления. Помнится, он что-то мне заплатил за отрывок, и очень скоро я увидел его напечатанным. Это доставило мне громадное удовольствие. Не меньшее — и то обстоятельство, что я был помещен на обложке в списке сотрудников журнала.

Рассказываю Вам об этом незначительном случае в жизни, чтобы Вы знали, как я познакомился с Рудольфом.

И далее пошла вертеться зима. Тройная жизнь. И третья жизнь моя цвела у письменного стола. Груда листов все пухла. Писал я и карандашом, и чернилом.

Меж тем фельетончики в газете дали себя знать. К концу зимы все было ясно. Вкус мой резко упал. Все чаще стали проскакивать в писаниях моих шаблонные словечки, истертые сравнения. В каждом фельетоне нужно было насмешить, и это приводило к грубостям. Лишь только я пытался сделать работу потоньше, на лице у палача моего Навзиката появлялось недоумение. В конце концов я махнул на все рукой и старался писать так, чтобы было смешно Навзикату. Волосы дыбом, дружок, могут встать от тех фельетончиков, которые я там насочинил.

Когда наступал какой-нибудь революционный праздник, Навзикат говорил:

— Надеюсь, что к послезавтрашнему празднику вы разразитесь хорошим героическим рассказом.

Я бледнел, и краснел, и мялся.

— Я не умею писать героические революционные рассказы, — говорил я Навзикату.

Навзикат этого не понимал. У него, как я уже давно понял, был странный взгляд на журналистов и писателей. Он полагал, что журналист может написать все, что угодно, и что ему безразлично, что ни написать. А меж тем, по некоторым соображениям, мне нельзя было объяснить Навзикату кой-что: например, что для того, чтобы разразиться хорошим революционным рассказом, нужно прежде всего самому быть революционером и радоваться наступлению революционного праздника. В противном же случае рассказ у того, кто им разразится по денежным или иным каким побуждениям, получится плохой. Сами понимаете, что на эту тему я с Навзикатом не беседовал. Июль был тоньше и умней и без бесед сообразил, что с героическими рассказами у меня не склеится. Печаль заволокла совершенно его бритую голову. Кроме того, я, спасая себя, украл к концу третьего месяца один фельетон, а к концу четвертого парочку, дав 7 и 6.

— Михаил, — говорил потрясенный Июль, — а ведь у тебя только шесть фельетонов.

Июль со всеми, начиная с наиответственного редактора и кончая уборщицей, был на «ты». И все ему платили тем же.

— Неужели только шесть? — удивлялся я. — Верно, шесть. Ты знаешь, Июль, у меня в последнее время частые мигрени.

— От пива, — поспешно вставил Июль.

— Не от пива, а от этих самых фельетонов.

— Помилуй, Михаил. Ты тратишь два часа в неделю на фельетон!

— Голубчик, если бы ты знал, чего стоит этот час.

— Ну, не понимаю... В чем дело?..

Навзикат сделал попытку прийти на помощь Июлю. Идеи рождались в его голове, как пузыри.

— Надеюсь, что вы разразитесь фельетоном по поводу французского министра.

Я почувствовал головокружение.

Вам, друг, объясняю, и Вы поймете: мыслимо ли написать хороший фельетон по поводу французского министра, если вам до этого министра нет никакого дела? Заметьте, вывод предрешен — вы должны этого министра выставить в смешном и нехорошем свете и обязательно обругать. Где министр, что министр? Фельетон политический можно хорошо написать лишь в том случае, если фельетонист сам искренне ненавидит этого министра. Азбука? Да?

Ну, давайте сочинять:

«Министр вошел в свой кабинет и позвонил...»

И — стоп. Что дальше?

Ну, позвонил секретарю. А что он ему говорил?

Словом, в конце концов отступились от меня. Навзикат в твердой уверенности, что я мелкий контрреволюционный спец, полегоньку саботирующий; Июль в уверенности, что я глубоко несчастливый человек из богемы, лентяй, заблудшая овца. Ни один из них не был прав, но один был ближе к истине.

На радостях, что я навеки избавился от французских министров и рурских горняков, я украл в том месяце три фельетона, дав пять фельетонов. Стыжусь признаться, что в следующем я представил четыре. Тут терпение Июля лопнуло, и он перевел меня на сдельную работу. Признаюсь, это меня очень расстроило. Мне очень хотелось бы, чтоб государство платило мне жалованье, чтобы я ничего не делал, а лежал бы на полу у себя в комнате и сочинял бы роман. Но государство так не может делать, я это превосходно понимаю.....

.....

.....

V. ОН НАПИСАН...

.....

.....

В этот момент случилось что-то странное. В нижней квартире кто-то заиграл увертюру из «Фауста». Я был потрясен. Внизу было пианино, но давно уже никто на нем не играл. Мрачные звуки

достигли ко мне. Я лежал на полу, почти уткнувшись лицом в стекло керосинки, и смотрел на ад. Отчаяние мое было полным, я размышлял о своей ужасной жизни и знал, что сейчас она прервется наконец.

В голове возникли образы: к отчаянному Фаусту пришел дьявол, ко мне же не придет никто. Позорный страх смерти кольнул меня еще раз, но я его стал побеждать таким способом: я представил себе, что меня ждет в случае, если я не решусь. Прежде всего, я вызвал перед глазами наш грязный коридор, гнусную уборную, представил себе крик замученного Шурки. Это очень помогло, и я, оскалив зубы, приложил ствол к виску. Еще раз испуг вызвало во мне прикосновение к коже холодного ствола.

«Никто не придет на помощь», — со злобой подумал я. Звуки глубокие и таинственные сочились сквозь пол. В дверь постучали в то время, когда мой малодушный палец осторожно придвигался к собачке. Именно благодаря этому стуку я чуть не пустил действительно себе пулю в голову, потому что от неожиданности рука дрогнула и нажала собачку.

Но вездесущий Бог спас меня от греха. Автоматический пистолет был устроен без предохранителя. Для того чтобы выстрелить, нужно было не только нажать собачку, но сжать весь револьвер в руке так, чтобы сзади вдавился в ручку второй спуск. Один без другого не производил выстрела. Так вот, о втором я забыл.

Стук повторился.

Я торопливо сунул револьвер в карман, записку скомкал и спрятал и крикнул сурово:

— Войдите! Кто там?

VI. ПРИ ШПАГЕ Я!

Дверь отворилась беззвучно, и на пороге предстал дьявол. Сын гибели, однако, преобразился. От обычного его наряда остался только черный бархатный берет, лихо надетый на ухо. Петушьего пера не было. Плаща не было, его заменила шуба на лисьем меху, и обыкновенные полосатые штаны облегали ноги, из которых одна была с копытом, упрятанным в блестящую галошу.

Я, дрожа от страху, смотрел на гостя. Зубы мои стучали.

Багровый блик лег на лицо вошедшего снизу, и я понял, что черному пришло в голову явиться ко мне в виде слуги своего Рудольфа.

— Здравствуйте, — молвил сатана изумленно и снял берет и галоши.

— Здравствуйте, — отозвался я, все еще замирая.

— Вы что ж это на полу лежите? — осведомился черт.

— Да керосинка... видите ли... — промямлил я.

— Гм! — сказал Вельзевул.

— Садитесь, прошу вас.

— Мерси. А лампу нельзя зажечь?

— Видите ли. Лампочка у меня перегорела, а сейчас уже поздно...

Дьявол ухмыльнулся, расстегнул портфель и вынул электрическую лампочку, запакованную в серый цилиндр.

— Вы так и носите с собой лампочки?

Дьявол усмехнулся снисходительно.

— Чистое совпадение, — ответил он, — только что купил.

Я ввинтил лампу, и неприятный свет озарил комнату. Дрожь моя прекратилась, и я внезапно сказал:

— А знаете ли, я до вашего прихода за минуту... гм... слышите, «Фауста» играют...

— Слышу!

Помолчали.

— А я шел мимо, — сказал Дьявол, — ну, думаю, дай, думаю, загляну.

— Очень приятно. Не прикажете ли чаю?

От чаю дьявол отказался.

Помолчали.

— Роман написали? — вдруг после паузы спросил черт.

Я вздрогнул.

— Откуда вы знаете?

— Бусин говорил.

— Гм... Я Бусину не читал. А кто этот Бусин?

— Один человек, — ответил Дьявол и зевнул.

— Написал, это верно, — отозвался я, страдая.

— А дайте-ка посмотреть, — сказал, скучая, Сатана, — благо у меня сейчас время свободное.

— Видите ли, Рудольф Рафаилыч, он не переписан, а почерк у меня ужасающий. Понимаете ли, букву «а» я пишу как «о», поэтому выходит...

— Это часто бывает, — сказал Мефистофель, зевая, — я каждый почерк читаю. Привычка. У вас в каком ящике он? В этом?

— Я, знаете ли, раздумал представлять его куда-нибудь.

— Почему? — спросил, прищурившись, Рудольф.

— Его цензура не пропустит.

Дьявол усмехнулся обольстительно.

— Откуда вы знаете?

— Говорили мне.

— Кто?

— Рюмкин, Плаксин, Парсов...

— Парсов, это маленький такой?

— Да, блондин.

— Я ведь не с тем, чтобы печатать, — объяснил лукавый, — а просто из любопытства. Люблю изящную словесность.

— Право... он мне разонравился... — и я сам не помню, кто открыл ящик.

Дьявол снял шубу, повесил ее на гвоздик, надел пенсне, окончательно превратился в Рудольфа, взял первую тетрадь, и глаза его побежали по строчкам. Это верно, по тому, как он перелистывал страницы, я убедился, что ни один самый нелепый почерк не может остановить его. Он читал, как печатное.

Прошло четыре часа. За эти четыре часа лукавый подкреплялся только один раз. Он съел кусок булки с колбасой и выпил стакан чаю. Когда стрелки «а часах стали „на караул“, ровно в двенадцать ночи, Рудольф прочитал последние слова про звезды и закрыл пятую, и последнюю, тетрадь. Моей пытке настал конец, а за время ее я перечитал 1-й том „Записок Пиквикского клуба“. Я старался не глядеть Рудольфу в глаза, не выдавать себя трусливым и жалким взглядом. Но глаза мои бегали.

«Ему не понравилось. Он брезгливо опустил углы губ, — подумал я, — я — несчастливец... И зачем я давал читать?»

— Это — черновик, видите ли, я его не исправлял еще... «Фу, и голос какой противный...»

— Ваша мама умерла? — спросил Рудольф.

— Да, — ответил я изумленно.

— А когда?

— Моя матушка скончалась в позапрошлом году от тифа, к великому моему горю, — сурово сказал я.

Дьявол выразил на лице вежливое официальное сожаление.

— А скажите, пожалуйста, где вы учились?

— В церковно-приходской школе, — ответил я проворно наобум. Дело, видите ли, в том, что я тогда почему-то считал нужным скрывать свое образование. Мне было стыдно, что человек с таким образованием служит в газете, лежит перед керосинкой на полу и у него нет картин на стенах.

— Так, — сказал Рудольф, и глаза его сверкнули.

— Виноват, собственно, к чему эти вопросы?

— Графу Толстому подражаете, — заметил черт и похлопал пальцем по тетради.

— Какому именно Толстому, — осведомился я, раздраженный загадочностью вопросов Рудольфа, — Льву Николаевичу, Алексею Константиновичу или, быть может, еще более знаменитому Петру Андреевичу, заманившему царевича Алексея в ловушку?

— Однако! — молвил Рудольф и прибавил: — Да вы не сердитесь. А скажите, вы не монархист?

Как полагается всякому при таком вопросе, я побледнел как смерть.

— Помилуйте! — вскричал я.

Дьявол хитро прищурился, спросил:

— Скажите, вы сколько раз бреетесь в неделю?

— Семь раз, — ответил я, теряясь.

— Сидите у керосинки, — Дьявол обвел глазами комнату, — один с кошкой и керосинкой, бреетесь каждый день... Кроме того, простите, еще один вопросик можно задать: каким образом вы достигаете того, что у вас пробор такой?

— Бриолином я смазываю голову, — ответил я хмуро, — но не всякий смазывающий голову бриолином так-таки обязательно монархист.

— О, я в ваши убеждения не вмешиваюсь, — отозвался Дьявол. Потом помолчал, возвел глаза к закопченному потолку и процедил: — Бриолином голову...

Тут интонации его изменились. Сурово сверкая стеклами пенсне, он сказал гробовым голосом:

— Роман вам никто не напечатает. Ни Римский, ни Агреев. И я вам не советую его даже носить никуда.

Дымчатый зверь вышел из-под стола, потерся о мою ногу.

«Как мы с тобой живем, кошка, как живем», — подумал я печально и поник.

— Есть только один человек на свете, который его может напечатать, — продолжал Рудольф, — и этот человек я!

Холод прошел под сердцем у меня, и я прислушался, но звуков «Фауста» более не слыхал, дом уже спал.

— Я, — продолжал Рудольф, — напечатаю его в своем журнале и даже издам отдельной книгой. И даже я вам деньги заплачу хорошие.

Тут он назвал чудовищно ничтожную сумму.

— Я вам далее сейчас дам вперед пятьдесят рублей.

Я молчал.

— Нижеследующая просьба, — заговорил он вновь, — нельзя ли ваш пробор размочить на неделю? И даже вообще я вам дружески советую, вы не носите его. И нельзя ли попросить вас не бриться эту неделю?

Я удивленно открыл рот.

— Завтра он будет перепечатан на машинке, — задумчиво сказал Рудольф.

— В нем 17 печатных листов! — испуганно отозвался я, — как он может быть перепечатан завтра?!

— Я, — железным голосом ответил Дьявол, — завтра в 9 часов утра сдам его в бюро и посажу 12 машинисток, разниму его на 12 частей, и они перепишут его к вечеру.

Я понял, что мне не следует с ним спорить, я восхищенно лежал у его ног.

— Это обойдется целковых в полтораста, заметьте, на счет автора. Послезавтра утром я отвезу его в цензуру, а через три дня вы поедете со мною туда.

— Слушаю, — сказал я мертвым голосом.

— Там вы не будете произносить ни одного слова, и никаких проборов, — сурово сказал Рудольф.

Тут я опять произвел слабую попытку бунтовать.

— Разве я такой дурак, — забурчал я, — что мне нельзя и рта открыть? А если это так, то поезжайте один. Зачем я нужен?

— Вы нужны вот зачем, — ледяным голосом продолжал Рудольф, — он вздумает что-нибудь вычеркнуть. Что именно — мне неизвестно. Хотя кой о чем я догадываюсь. Так вот, вы изъявите полное свое согласие на все, что он ни скажет. И хорошо было бы даже, если бы вы сказали ему какой-нибудь комплимент. Вроде того, что вот, мол, как он здорово придумал и что вы, автор, находите, что с такими купюрами ваш роман стал лучше в два раза.

— До чего мне это не по вкусу, — забормотал я и вдруг произнес громовую филиппику по адресу цензуры. Продолжалась она пять минут. Рудольф, раскинувшись, сидел на дырявом диване и от удовольствия щурил глазки. Наконец я закрыл рот.

— Вы кончили?

— Кончил.

— Дитя! — сказал Рудольф и, вынув красный красивый шестигранный карандаш, вычеркнул из эпиграфа «Из Апокалипсиса».

— Это вы напрасно, — заметил я, заглядывая к нему через плечо, — ведь он, наверное, и так знает, откуда это?

— Ни черта он не знает, — угрюмо ответил Рудольф и тут же пробежал по всем пяти тетрадям и вычеркнул еще штук шесть фраз, каждый раз вежливо осведомляясь у меня: «Разрешите?»

Затем он вручил мне пять червонцев, а затем сам он в берете и мой роман провалился сквозь пол. Мне почудилось, что я видел клок пламени, выскочивший из паркетной шашки, и долго еще пахло в комнате серой. Впрочем, может быть, это мне и показалось.

Уж давным-давно погасла оставшаяся мне в презент лампочка и кошка заснула на газетах, а я все стоял у стекла и смотрел во мрак. Мой дом плыл, как многоярусный корабль, распустив черные паруса. Над ним варилось дымное месиво.

Когда я заснул, мне приснились юнкера 18-го года. Они шли валом, и свистели, и пели дикую песню. Сны кошки мне неизвестны. Надо полагать, что она видела во сне собак, а, может быть, и людей. А это много страшнее.

VII. РАЗМЫТАЯ ФОТОГРАФИЯ

Что происходило в дальнейшем, Вам, бесценный друг, известно из ранее написанного: разорение человека с колосьями, кильки и векселя, Рвацкий, чепуха.

Все остальное размыло в моей памяти начисто. Не помню ничего! Кажется, шел дождь. И еще знаю, что скука, одуряющая скука терзала меня. Она разливалась повсюду, она вошла в меня, и от нее гнила моя кровь. Помнится, видел я окурки и плевки на Страстной Площади, каких-то баб с мокрыми подолами, Навзикат, нога у меня болела, и я, хромая, ходил в газету. И стал лохматый... Мимо! Мимо!

VIII. ВЫХОД РОМАНА

И настал день, в который я все-таки дрогнул. Когда загорелись лампы и фонари и кубиковая мостовая залоснилась, я пошел в помещение Рвацкого. И вот Вам доказательство того, как все размыло: не помню, весна ли это была, быть может, лето. Или февраль? Февраль? Не помню.

В помещении все изменилось. Ни килек не было, ни Рвацкого, но зато воздвигли какие-то фанерные перегородки, и в одной из клетушек восседал Рудольф под ослепительнейшей лампой, а перед ним в двух колоннах стояли свежевыпущенные книжки журнала. Синие их обложки выглядели нарядно. Рудольф сиял и встретил меня теплым рукопожатием.

Перед Рудольфом сидел молодой человек совершенно особого типа. Я нередко встречал их в различных редакциях. Приметы их следующие. Лет от 25 до 30. Никогда не больше и не меньше. Одет прилично. Пиджак, а иногда и визитка, правда, старенькая. Брюки непременно полосатые. Галстух непременно или длинный вишневого цвета, или бабочкой в клетку. Непременно с тростью, трость с набалдашником из серебра. Непременно хорошо причесаны. Кто они такие — никто не знает. Кто их родители? Чем они живут? Сами они не пишут. На вопрос, как их фамилия, редактор отвечает, щурясь:

— Фамилия? Пи... черт, забыл!

Они бывают в редакциях во все торжественные дни, в день выхода очередных книжек, в дни больших литературных скандалов, в дни закрытий журналов. Особая примета: любят шептаться с женщинами в редакциях и очень вежливы с ними и всех народных комиссаров называют дружески по имени и отчеству.

Так они не говорят:

— Народный комиссар такой-то.

Или:

— Т[оварищ] такой-то...

А так:

— Вчера Анатолий Васильевич рассказывал нам, мы очень смеялись...

Из чего можно заключить, что они бывают у наркомов, что ли? Впрочем, не знаю.

Словом, он сидел уже тут.

Сел и я.

Рудольф немедленно обратился к незнакомцу и спросил его:

— Ну, как вы находите новый роман?

У меня дрогнуло сердце, я искоса глянул на руки молодому человеку. В них была книжка, раскрытая как раз на моем романе.

Молодой человек очень оживился и заговорил, картавя:

— Рудольф Максимыч! Не понимаю! Воля ваша! Что вас заставило напечатать его, решительно не понимаю. Во-первых, это вовсе не роман.

— А что же это? — спросил Рудольф, наслаждаясь моим лицом, глаза его пылали.

— Черт... не понимаю!.. Во всяком случае, с моей точки зрения, Рудольф Максимыч, это очень дурно, вы меня простите! Бездарно в полной мере. И, кроме того, здесь он пишет «петухи налетали». Петух не летает, Рудольф Максимыч! Скажите это автору. Он бездарен, еще и неграмотен.

— А вы ему сами скажите, — ответил бандит Рудольф, — вот он. Познакомьтесь. Он утверждает, что кончил церковно-приходскую школу.

Я немедленно встал и, любезно оскалившись, протянул молодому человеку руку. Она была мертва и холодна. Он, бледный, закинулся на спинку стула и молчал все время, пока я получил у Рудольфа авторские экземпляры и вышел.

Но когда выходил, слышал тонкий вой:

— Рудольф Максимович! — И хохот весельчака Рудольфа.

Мой друг! Вам, наверно, приходилось читать такие сообщения:

«Французский писатель N. написал роман. Роман разошелся во Франции в течение месяца в количестве 600 тысяч экземпляров и переведен на немецкий, английский, итальянский, шведский и датский языки. В течение месяца бывший скромный (или клерк, или офицер, или приказчик, или начальник станции) приобрел мировую известность».

Через некоторое время в ваши руки попадает измызганный номер французского или немецкого иллюстрированного журнала, и вы видите избранника судьбы. Он в белых брюках и синем пиджаке. Волосы его растрепаны, потому что с моря дует ветер. Рядом с ним в короткой юбке и шляпе некрасивая женщина с чудесными зубами. На руках у нее лохматая собачонка с острыми ушами. Видна бортовая сетка парохода и кусок шезлонга, за сеткой ломаные волны. Подпись показывает, что счастлив избранник, он уезжает в Америку с женой и собачкой.

Отравленный завистью, скрипнув зубами, швыряете вы журнал на стол, закуриваете, нестерпимый смрад подымается от годами не чищенной пепельницы. Пахнет в редакции сапогами и почему-то карболкой. На вешалке висят мокрые пальто сотрудников. Осень, но один из сотрудников пришел в капитанской кепке с белым верхом, и она мокнет и гниет на гвозде. За стеклами идет дождь. Он шел вчера, идет сегодня и будет идти завтра...

Не солгу Вам, мой друг, мой роман не только не вышел в количестве шестисот тысяч, но он не вышел и вовсе. Что касается же тех двух третей романа, что были напечатаны в журнале Рудольфа, то они не были переведены на датский язык, и в Америку с собачкой на яхте я не ездил. Даже более того, он настолько не произвел никакого впечатления, что иногда мне начинало казаться, будто он вовсе не выходил. В течение месяцев двух я не встретил ни одной живой души, которая бы читала мой роман. Сам я зато перечитал напечатанное раз пятнадцать и пришел к выводу, что Рудольф ночью уволок у меня из комнаты черновики. Если бы над этими черновиками я просидел еще несколько месяцев, действительно можно было бы сделать приличный роман.

Итак, прошло два месяца. К концу второго месяца я наконец убедился, что люди, прочитавшие мое произведение искусства, на свете имеются.

В редакции встретил я развязного и выпившего поэта Вову Боргузина. Вова сказал:

— Читал, Мишенька, я ваш роман в журнале «Страна». Плохонький роман, Мишун, вы...

Москва Краснокаменная

Неделя просвещения

Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне:

— Сидоров!

А я ему:

— Я!

Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает:

— Ты, — говорит, — что?

— Я, — говорю, — ничего…

— Ты, — говорит, — неграмотный?

Я ему, конечно:

— Так точно, товарищ военком, неграмотный.

Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит:

— Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на «Травиату»!

— Помилуйте, — говорю, — за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме.

А он отвечает:

— Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие.

А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти.

Я и говорю:

— А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк увольниться вместо театра?

А он прищурил глаз и спрашивает:

— В цирк?.. Это зачем же такое?

— Да, — говорю, — уж больно занятно… Ученого слона выводить будут, и опять же рыжие, французская борьба…

Помахал он пальцем.

— Я тебе, — говорит, — покажу слона! Несознательный элемент! Рыжие… рыжие! Сам ты рыжая деревенщина! Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, неученые! Какая тебе польза от цирка? А? А в театре тебя просвещать будут… Мило, хорошо… Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать… Получай билет, и марш!

Делать нечего — взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили три стакана семечек и приходим в «Первый советский театр».

Видим, у загородки, где впускают народ, — столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна было и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает:

— Позвольте, — говорит, — товарищ мадам, вы грамотная?

А та сдуру обиделась:

— Странный вопрос! Конечно, грамотная. Я в гимназии училась!

— А, — говорит контролер, — в гимназии. Очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания!

И забрал у нее билет.

— На каком основании, — кричит барышня, — как же так?

— А так, — говорит, — очень просто, потому пускаем только неграмотных.

— Но я тоже хочу послушать оперу или концерт.

— Ну, если вы, — говорит, — хотите, так пожалуйте в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали — доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают, а товарищ Куликовский им романсы поет.

Так и ушла барышня.

Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд.

Сидим.

Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек сжевали. Посидели мы так часика полтора, наконец стемнело в театре.

Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, бородка с проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел.

Я и спрашиваю Пантелеева (он хоть и неграмотный, но все знает):

— Это кто же такой будет?

А он отвечает:

— Это дери, — говорит, — жер. Он тут у них самый главный. Серьезный господин!

— Что ж, — спрашиваю, — почему ж это его напоказ сажают за загородку?

— А потому, — отвечает, — что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примеру нам, значит, и выставляют.

— Так почему ж его задом к нам посадили?

— А, — говорит, — так ему удобнее оркестром хороводить!..

А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком, и сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прямо плакать хочется.

Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает — и книжку читает, и прутом размахивает. А оркестр нажаривает. Дальше — больше!

За скрипками на дудках, а за дудками на барабане. Гром пошел по всему театру. А потом как рявкнет с правой стороны… Я глянул в оркестр и кричу:

— Пантелеев, а ведь это, побей меня Бог, Ломбард, который у нас на пайке в полку!

А он тоже заглянул и говорит:

— Он самый и есть! Окромя его, некому так здорово врезать на тромбоне!

Ну, я обрадовался и кричу:

— Браво, бис, Ломбард!

Но только, откуда ни возьмись, милиционер, и сейчас ко мне:

— Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать!

Ну, замолчали мы.

А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене — дым коромыслом! Которые в пиджаках кавалеры, а которые дамы в платьях танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же, и в девятку то же самое.

Одним словом, старый режим!

Ну, тут, значит, среди прочих Альфред. Тозке пьет, закусывает.

И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, все пением. Ну, и она ему то же в ответ.

И выходит так, что не миновать ему жениться на ней, но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша, по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шасть на сцену.

Роста небольшого, но представительный такой, волосы седые, и голос крепкий, густой — беривтон.

И сейчас же и запел Альфреду:

— Ты что ж, такой-сякой, забыл край милый свой?

Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию, к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии, и устрой он, братцы вы мои, скандал здоровеннейший — этой Травиате своей.

Обругал ее, на чем свет стоит, при всех.

Поет:

— Ты, — говорит, — и такая и эдакая, и вообще, — говорит, — не желаю больше с тобой дела иметь.

Ну, та, конечно, в слезы, шум, скандал!

И заболей она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором.

Приходит доктор.

Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат — пролетарий. Волосы длинные, и голос здоровый, как из бочки.

Подошел к Травиате и запел:

— Будьте, — говорит, — покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы помрете!

И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел.

Ну, видит Травиата, делать нечего — надо помирать.

Ну, тут пришли и Альфред и Любченко, просят ее не помирать. Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Но ничего не выходит!

— Извините, — говорит Травиата, — не могу, должна помереть.

И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата.

А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись. Только и всего.

Ну, думаю: слава Богу, просветились, и будет с нас! Скучная история!

И говорю Пантелееву:

— Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк!

Лег спать, и все мне снится, что Травиата поет и Ломбард на своем тромбоне крякает.

Ну-с, прихожу я на другой день к военкому и говорю:

— Позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться…

А он как рыкнет:

— Все еще, — говорит, — у тебя слоны на уме! Никаких цирков! Нет, брат, пойдешь сегодня в Совпроф на концерт. Там вам, — говорит, — товарищ Блох со своим оркестром Вторую рапсодию играть будет!

Так я и сел, думаю: «Вот тебе и слоны!»

— Это что ж, — спрашиваю, — опять Ломбард на тромбоне нажаривать будет?

— Обязательно, — говорит.

Оказия, прости Господи, куда я, туда и он с своим тромбоном!

Взглянул я и спрашиваю:

— Ну, а завтра можно?

— И завтра, — говорит, — нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю.

— Ну, а послезавтра?

— А послезавтра опять в оперу!

И вообще, говорит, довольно вам по циркам шляться. Настала неделя просвещения.

Осатанел я от его слов! Думаю: этак пропадешь совсем. И спрашиваю:

— Это что ж, всю нашу роту гонять так будут?

— Зачем, — говорит, — всех! Грамотных не будут. Грамотный и без Второй рапсодии хорош! Это только вас, чертей неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны!

Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак! Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия…

Думал, думал и придумал.

Пошел к военкому и говорю:

— Позвольте заявить!

— Заявляй!

— Дозвольте мне, — говорю, — в школу грамоты.

Улыбнулся тут военком и говорит:

— Молодец! — и записал меня в школу.

Ну, походил я в нее, и что вы думаете, выучили-таки!

И теперь мне черт не брат, потому я грамотный!

Комментарии. В. И. Лосев

НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Впервые — газета «Коммунист». Владикавказ. 1921. 1 апреля. С подписью: «Михаил Булгаков». Затем — Юность. 1974. № 7.

Печатается по тексту журнальной публикации.

Фельетон написан на основе реальных событий, которые наблюдал Булгаков во Владикавказе. 14–20 марта 1921 г. в городе проходила «неделя просвещения», по следам которой и написан фельетон. Более того, Булгаков принимал в этом мероприятии активное участие, выступив с докладом перед красноармейцами. В это же время в «Первом советском театре» шла его пьеса «Парижские коммунары» (см.: Яновская Л. Михаил Булгаков — фельетонист//Юность. 1975. № 8).

Торговый ренессанс

Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика (нэпо, по сокращению, уже получившему права гражданства у москвичей).

Началось это постепенно… понемногу… То тут, то там стали отваливаться деревянные щиты, и из-под них глянули на свет после долгого перерыва запыленные и тусклые магазинные витрины. В глубине запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их зашевелилась жизнь: стали приколачивать, прибивать, чинить, распаковывать ящики и коробки с товарами. Вымытые витрины засияли. Вспыхнули сильные круглые лампы над выставками или узкие ослепительные трубки по бокам окон.

Трудно понять, из каких таинственных недр обнищавшая Москва ухитрилась извлечь товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за зеркальные витрины и разложила на полках.

Зашевелились Кузнецкий, Петровка, Неглинный, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Арбат. Магазины стали расти как грибы, окропленные живым дождем нэпо… Государственные, кооперативные, артельные, частные… За кондитерскими, которые первые повсюду загорелись огнями, пошли галантерейные, гастрономические, писчебумажные, шляпные, парикмахерские, книжные, технические и, наконец, огромные универсальные.

На оголенные стены цветной волной полезли вывески, с каждым днем новые, с каждым днем все больших размеров. Кое-где они сделаны на скорую руку, иногда просто написаны на полотне, но рядом с ними появились постоянные, по новому правописанию, с яркими аршинными буквами. И прибиты они огромными, прочными костылями.

Надолго, значит.

И старые погнувшиеся и облупленные железные листы среди них как будто подтягиваются и оживают, и хилые твердые знаки так странно режут глаз.

Дальше больше, шире…

Не узнать Москвы. Москва торгует…

На Кузнецком целый день кипит на обледеневших тротуарах толчея пешеходов, извозчики едут вереницей, и автомобили летят, хрипя сигналами.

За сотенными цельными стеклами буйная гамма ярких красок: улыбаются раскрашенными ликами фигурки-игрушки артелей кустарей. Выше, в бывшем магазине Шанкса, из огромных витрин тучей глядят дамские шляпы, чулки, ботинки, меха. Это один из универсальных магазинов. Моск. потр. общ. Оно открыло восемь таких магазинов по всей Москве.

На Петровке в сумеречные часы дня из окон на черные от народа тротуары льется непрерывный электрический свет. Блестят окна конфексионов. Сотни флаконов с лучшими заграничными духами, граненых, молочно-белых, желтых, разных причудливых форм и фасонов. Волны материй,

груды галстуков, кружева, ряды коробок с пудрой. А вон безжизненно-томно сияют раскрашенные лица манекенов, и на плечи их наброшены бесценные по нынешним временам палантины.

Ожили пассажи.

Громада «Мюр и Мерилиза» еще безмолвно и пусто чернеет своими громадными стеклами, но уже в нижнем этаже исчезли из витрины гигантские раскрашенные карикатуры на Нуланса и По, а из дверей выметают сор. И Москва знает уже, что в феврале здесь откроют универсальный магазин Мосторга с двадцатью пятью отделениями и прежние директора Мюра войдут в его правление.

Кондитерские на каждом шагу. И целые дни и до закрытия они полны народу. Полки завалены белым хлебом, калачами, французскими булками. Пирожные бесчисленными рядами устилают прилавки. Все это чудовищных цен. Но цены в Москве давно уже никого не пугают, и сказочные, астрономические цифры миллионов (этого слова уже давно нет в Москве, оно окончательно вытеснено словом «лимон») пропускают за день блестящие, неустанно щелкающие кассы.

В бывшей булочной Филиппова на Тверской, до потолка заваленной белым хлебом, тортами, пирожными, сухарями и баранками, стоят непрерывные хвосты.

Выставки гастрономических магазинов поражают своей роскошью. В них горы коробок с консервами, черная икра, семга, балык, копченая рыба, апельсины. И всегда у окон этих магазинов как зачарованные стоят прохожие и смотрят не отрываясь на деликатесы…

Все тридцать четыре гастрономических магазина М. П. О. и частные уже оповестили в объявлениях о том, что у них есть и русское, и заграничное вино, и москвичи берут его нарасхват.

В конце ноября «Известия» в первый раз вышли с объявлениями, и теперь ими пестрят страницы всех газет и торговых бюллетеней. А самолеты авиационной группы «Воздушный флот» уже сделали первый опыт разброски объявлений над Москвой, и теперь открыт прием объявлений «С аэроплана». Строка такого объявления стоит 15 руб. на новые дензнаки.

Движение на улицах возрастает с каждым днем. Идут трамваи по маршрутам 3, 6, 7, 16, 17, А и Б, и извозчики во все стороны везут москвичей и бойко торгуются с ними:

— Пожалуйте, господин! Рублик без лишнего (100 тыс.)! Со мной ездили!

У «Метрополя», у Воскресенских ворот, у Страстного монастыря — всюду на перекрестках воздух звенит от гомона бесчисленных торговцев газетами, папиросами, тянучками, булками.

У Ильинских ворот стоят женщины с пирожками в две шеренги. А на Ильинке с серого здания с колоннами исчезла надпись «Горный совет» и повисла другая, с огромными буквами: «Биржа», и в нем идут биржевые собрания и проходят через маклеров миллиардные сделки.

До поздней ночи движется, покупает, продает, толчется в магазинах московский люд. Но и поздним вечером, когда стрелки на освещенных уличных часах неуклонно ползут к полночи, когда уже закрыты все магазины, все еще живет неугомонная Тверская.

И режут воздух крики мальчишек:

— «Ира рассыпная»! «Ява»! «Мурсал»!

Окна бесчисленных кафе освещены, и из них глухо слышится взвизгивание скрипок.

До поздней ночи шевелится, покупает и продает, ест и пьет за столиками народ, живущий в не виданном еще никогда торгово-красном Китай-городе.

Москва, 14/1 1922 г.

Комментарии. В. И. Лосев

Торговый ренессанс

Впервые — Социологические исследования. 1988. № 1. С подписью: «М. Булл.» Имеет дату: «14.I.1922 г.».

Печатается по автографу, хранящемуся в НИОР РГБ (ф. 562, к. 1, ед. хр. 2).

Фельетон написан в ночь на 14 января 1922 г. и был отправлен Булгаковым в Киев сестре Н. А. Булгаковой-Земской для публикации в местных газетах. Однако ей не удалось опубликовать фельетон.

Сохранилось письмо Булгакова к сестре от 13 января, которое представляет интерес как дополнительная информация к фельетону. Вот некоторые фрагменты из него:

«…В этом письме посылаю тебе корреспонденцию „Торговый ренессанс". Я надеюсь, что ты не откажешь… отправиться в любую из киевских газет по твоему вкусу (предпочтительно большую ежедневную) и предложить ее срочно.

Результаты могут быть следующими:

1) ее не примут, 2) ее примут, 3) примут и заинтересуются. О первом случае говорить нечего. Если второе, получи по ставкам редакции гонорар и переведи его мне, удержав в свое пользование из него сумму, по твоему расчету необходимую тебе… Если же 3, предложи меня в качестве столичного корреспондента по каким угодно им вопросам или же для подвального („подвал" — низ газеты, в котором ставятся фельетоны. Впрочем, вероятно, ты знаешь), художественного фельетона о Москве. Пусть вышлют приглашение и аванс. Скажи им, что я завед. хроникой в „Вестнике", профессиональный журналист. Если напечатают „Ренессанс", пришли заказной бандеролью… Я надеюсь, что ты извинишь меня за беспокойство. Хотел бы тебе написать еще многое помимо этих скучных дел, которыми я вдобавок тебя и беспокою (единственно, что меня утешает, это мысль, что я так или иначе сумею тебе возместить хлопоты в скором времени), ты поймешь, что я должен испытывать сегодня, вылетая вместе с „Вестником" в трубу.

Одним словом, раздавлен.

А то бы я описал тебе, как у меня в комнате в течение ночи под сочельник и в сочельник шел с потолка дождь…

Извини за неряшливое письмо.

Писал ночью, так же как и „Ренессанс". Накорябал на скорую руку черт знает что. Противно читать.

Переутомлен я до того, что дальше некуда» (НИОР РГБ, ф. 562, к. 19, ед. хр. 23, л. 2).

Вскоре после этого письма Булгакова постигают два несчастья: 1 февраля 1922 г. в Киеве умирает от тифа мать, а он сам в это время вступает в полосу жесточайшего голода (запись в дневнике 9 февраля: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем… Обегал всю Москву — нет места»).

Москва краснокаменная

I. УЛИЦА

Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к Храму Христа.

Хорошо у Храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья.

За Храмом, там, где некогда величественно восседал тяжелый Александр III в сапогах гармоникой, теперь только пустой постамент. Грузный комод, на котором ничего нет и ничего, по-видимому, не предвидится. И над постаментом воздушный столб до самого синего неба.

Гуляй — не хочу.

Зимой массивные ступени, ведущие от памятника, исчезали под снегом, обледеневали. Мальчишки — «„Ява" рассыпная!» — скатывались со снежной горы на салазках и в пробегавшую «Аннушку» швыряли комьями. А летом плиты у Храма, ступени у пьедестала пусты. Маячат две фигуры, спускаются к трамвайной линии. У одной за плечами зеленый горб на ремнях. В горбе — паек. Зимой пол-Москвы с горбами ходили. Горбы за собой на салазках таскали. А теперь — довольно. Пайков гражданских нет. Получай миллионы — вали в магазин.

У другой — нет горба. Одет хорошо. Белый крахмал, штаны в полоску. А на голове выгоревший в грозе и буре бархатный околыш. На околыше — золотой знак. Не то молот и лопата, не то серп и грабли, во всяком случае, не серп и молот. Красный спец. Служит не то в ХМУ, не то в ЦУСе. Удачно служит, не нуждается. Каждый день ходит на Тверскую в гигантский магазин Эм-пе-о (в легендарные времена назывался Елисеев) и тычет пальцем в стекло, за которым лежат сокровища:

— Э-э… два фунта…

Приказчик в белом фартуке:

— Слуш…с-с…

И чирк ножом, но не от того куска, в который спец тыкал, что посвежее, а от того, что рядом, где подозрительнее.

— В кассу прошу…

Чек. Барышня бумажку на свет. Не ходят без этого бумажки никак. Кто бы в руки ни взял, первым долгом через нее на солнце. А что на ней искать надо, никто в Москве не ведает. Касса хлопнула, прогремела и съела десять спецовых миллионов. Сдачи: две бумажки по сту.

Одна настоящая с водяными знаками, другая, тоже с водяными знаками, — фальшивая.

В Эмпео-елисеевских зеркальных стеклах — все новые покупатели. Три фунта. Пять фунтов. Икра черная лоснится в банках. Сиги копченые. Пирамиды яблок, апельсинов. К окну какой-то самоистязатель носом прилип, выкатил глаза на люстры-гроздья, на апельсины. Головой крутит. Проспал с 18 по 22 год!

А мимо, по избитым торцам, — велосипедист за велосипедистом. Мотоциклы. Авто. Свистят, каркают, как из пулеметов стреляют. На автоконьяке ездят. В автомобиль его нальешь, пустишь — за автомобилем сизо-голубой удушливый дым столбом.

Летят общипанные, ободранные, развинченные машины. То с портфелями едут, то в шлемах краснозвездных, а то вдруг подпрыгнет на кожаных подушках дама в палантине, в стомиллионной шляпе с Кузнецкого. А рядом, конечно, выгоревший околыш. Нувориш. Нэпман.

Иногда мелькнет бесшумная, сияющая лаком машина. В ней джентльмен иностранного фасона. АРА.

Извозчики то вереницей, то в одиночку. Дыхание бури их не коснулось. Они такие, как были в 1822 г., и такие, как будут в 2022-м, если к тому времени не вымрут лошади. С теми, кто торгуется, — наглы, с «лимонными» людьми — угодливы:

— Вас возил, господин!

Обыкновенная совпублика — пестрая, многоликая масса, что носит у московских кондукторш название: граждане (ударение на втором слоге), — ездит в трамваях.

Бог их знает, откуда они берутся, кто их чинит, но их становится все больше и больше. На 14 маршрутах уже скрежещут в Москве. Большею частью — ни стать, ни сесть, ни лечь. Бывает, впрочем, и просторно. Вон «Аннушка» заворачивает под часы у Пречистенских ворот. Внутри кондуктор, кондукторша и трое пассажиров. Трое ожидающих сперва машинально становятся в хвост. Но вдруг хвост рассыпался. Лица становятся озабоченными. Локтями начинают толкать друг друга. Один хватается за левую ручку, другой одновременно за правую. Не входят, а «лезут». Штурмуют пустой вагон. Зачем? Что такое? Явление это уже изучено. Атавизм. Память о тех временах, когда не стояли, а висели. Когда ездили мешки с людьми. Теперь подите повисните! Попробуйте с пятипудовым мешком у Ярославского вокзала сунуться в вагон.

— Граждане, нельзя с вещами.

— Да что вы… маленький узелочек…

— Гражданин! Нельзя!!! Как вы понятия не имеете!!

Звонок. Стоп. Выметайтесь.

И:

— Граждане, получайте билеты. Граждане, продвигайтесь вперед.

Граждане продвигаются, граждане получают. Во что попало одеты граждане. Блузы, рубахи, френчи, пиджаки. Больше всего френчей — омерзительного наряда, оставшегося на память о войне. Кепки, фуражки. Куртки кожаные. На ногах большей частью подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблуками. Но попадается уже лак. Советские сокращенные барышни в белых туфлях.

Катит пестрый маскарад в трамвае.

На трамвайных остановках гвалт, гомон. Чревовещательные сиплые альты поют:

— Сиводнишняя «Известия-я»… Патриарха Тихххх-а-аана!.. Эсеры… «Накану-у-не»… из Берлина только што па-алучена…

Несется трамвай среди говора, гомона, гудков. В центр.

Летит мимо Московской улицы. Вывеска на вывеске. В аршин. В сажень. Свежая краска бьет в глаза. И чего, чего на них нет. Все есть, кроме твердых знаков и ятей. Цупвоз. Цустран. Моссельпром. Отгадывание мыслей. Мосдревотдел. Виноторг. Старо-Рыковский трактир. Воскрес трактир, но твердый знак потерял. Трактир «Спорт». Театр трудящихся. Правильно. Кто трудится, тому надо отдохнуть в театре. Производство «сандаль». Вероятно, сандалий. Обувь дамская, детская и «мальчиковая». Врывсельпромгвиу. Униторг, Мосторг и Главлесторг. Центробумтрест.

И в пестром месиве слов, букв на черном фоне белая фигура — скелет руки к небу тянет. Помоги! Г-о-л-о-д. В терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотришься, пред-ста-вишь себе — и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут нувориши мимо стен, не оглядываются…

До поздней ночи улица шумит. Мальчишки — красные купцы — торгуют. К двум ползут стрелки на огненных круглых часах, а Тверская все дышит, ворочается, выкрикивает. Взвизгивают скрипки в кафе «Куку». Но все тише, реже. Гаснут окна в переулках… Спит Москва после пестрого будня перед красным праздником…

…Ночью спец, укладываясь, Неизвестному Богу молится:

— Ну что тебе стоит? Пошли на завтра ливень. С градом. Ведь идет же где-то град в два фунта. Хоть в полтора.

И мечтает:

— Вот выйдут, вот плакатики вынесут, а сверху как ахнет…

И дождик идет, и порядочный. Из перержавевших водосточных труб хлещет. Но идет-то он в несуразное, никому не нужное время — ночью. А наутро на небе ни пылинки!

И баба бабе у ворот говорит:

— На небе-то, видно, за большевиков стоят…

— Видно, так, милая…

В десять по Тверской прокатывается оглушительный марш. Мимо ослепших витрин, мимо стен, покрытых вылинявшими пятнами красных флагов, в новых гимнастерках с красными, синими, оранжевыми клапанами на груди, с красными шевронами, в шлемах, один к одному, под лязг тарелок, под рев труб рота за ротой идет красная пехота.

С двухцветными эскадронными значками — разномастная кавалерия на рысях. Броневики лезут.

Вечером на бульварах толчея. Александр Сергеевич Пушкин, наклонив голову, внимательно смотрит на гудящий у его ног Тверской бульвар. О чем он думает — никому не известно… Ночью транспаранты горят. Звезды…

…И опять засыпает Москва. На огненных часах три. В тишине по всей Москве каждую четверть часа разносится таинственный нежный перезвон со старой башни, у подножия которой, не угасая всю ночь, горит лампа и стоит бессонный часовой. Каждую четверть часа несется с кремлевских стен перезвон. И спит перед новым буднем улица в невиданном, неслыханном красно-торговом Китай-городе.

Комментарии. В. И. Лосев

МОСКВА КРАСНОКАМЕННАЯ

Впервые — Накануне. 1922. 30 июля. С подписью: «Булгаков Михаил».

Печатается по тексту газеты «Накануне».

Чаша жизни

Истинно, как перед Богом, скажу вам, гражданин, пропадаю через проклятого Пал Васильича… Соблазнил меня чашей жизни, а сам предал, подлец!..

Так дело было. Сижу я, знаете ли, тихо-мирно дома и калькуляцией занимаюсь. Ну, конечно, это только так говорится, калькуляцией, а на самом деле жалования — 210. Пятьдесят в кармане. Ну и считаешь: 10 дней до первого. Это сколько же? Выходит — пятерка в день. Правильно. Можно дотянуть? Можно, ежели с калькуляцией. Превосходно. И вот открывается дверь, и входит Пал Васильич. Я вам доложу: доха на нем не доха, шапка — не шапка! Вот, сволочь, думаю! Лицо красное, и слышу я — портвейном от него пахнет. И ползет за ним какой-то, тоже одет хорошо.

Пал Васильич сейчас же знакомит:

— Познакомьтесь, — говорит, — наш, тоже трестовый.

И как шваркнет шапку эту об стол, и кричит:

— Переутомился я, друзья! Заела меня работа! Хочу я отдохнуть, провести вечер в вашем кругу! Молю я, друзья, давайте будем пить чашу жизни! Едем! Едем!

Ну, деньги у меня какие? Я и докладываю: пятьдесят. А человек я деликатный, на дурничку не привык. А на пятьдесят-то что сделаешь? Да и последние!

Я и отвечаю:

— Денег у меня…

Он как глянет на меня.

— Свинья ты, — кричит, — обижаешь друга?!

Ну, думаю, раз так… И пошли мы.

И только вышли, начались у нас чудеса! Дворник тротуар скребет. А Пал Васильич подлетел к нему, хвать у него скребок из рук и начал сам скрести.

При этом кричит:

— Я — интеллигентный пролетарий! Не гнушаюсь работой!

И прохожему товарищу по калоше — чик! И разрезал ее. Дворник к Пал Васильичу и скребок у него из рук выхватил. А Пал Васильич как заорет:

— Товарищи! Караул! Меня, ответственного работника, избивают!

Конечно, скандал. Публика собралась. Вижу я — дело плохо. Подхватили мы с трестовым его под руки и в первую дверь. А на двери написано: «…и подача вин». Товарищ за нами, калоша в руках.

— Позвольте деньги за калошу.

И что ж вы думаете? Расстегнул Пал Васильич бумажник, и как заглянул я в него — ужаснулся! Одни сотенные. Пачка пальца в четыре толщиной. Боже ты мой, думаю. А Пал Васильич отслюнил две бумажки и презрительно товарищу:

— П-палучите, т-товарищ.

И при этом в нос засмеялся, как актер:

— А. Ха. Ха.

Тот, конечно, смылся. Калошам-то красная цена сегодня была полтинник. Ну, завтра, думаю, за шестьдесят купит.

Прекрасно. Уселись мы и пошли. Портвейн московский, знаете? Человек от него не пьянеет, а так лишается всякого понятия. Помню, раков мы ели и неожиданно оказались на Страстной площади. И на Страстной площади Пал Васильич какую-то даму обнял и троекратно поцеловал: в правую

щеку, в левую и опять в правую. Помню, хохотали мы, а дама так и осталась в оцепенении. Пушкин стоит, на даму смотрит, а дама на Пушкина.

И тут же налетели с букетами, и Пал Васильич купил букет и растоптал его ногами.

И слышу голос сдавленный из горла:

— Я вас? К-катаю?

Сели мы. Оборачивается к нам и спрашивает:

— Куда, Ваше Сиятельство, прикажете?

Это Пал Васильич! Сиятельство! Вот, сволочь, думаю!

А Пал Васильич доху распахнул и отвечает:

— Куда хочешь.

Тот в момент рулем крутанул, и полетели мы как вихрь. И через пять минут — стоп на Неглинном. И тут этот рожком три раза хрюкнул, как свинья:

— Хрр… хрю… хрю…

И что же вы думаете! На это самое «хрю» — лакеи! Выскочили из двери и под руки нас. И метрдотель, как какой-нибудь граф:

— Сто-лик.

Скрипки:

Под знойным небом Аргентины…

И какой-то человек в шапке и в пальто, и вся половина в снегу, между столиками танцует. Тут стал уже Пал Васильич не красный, а какой-то пятнистый, и грянул:

— Долой портвейны эти! Желаю пить шампанское!

Лакеи врассыпную кинулись, а метрдотель наклонил пробор:

— Могу рекомендовать марку…

И залетали вокруг нас пробки, как бабочки.

Пал Васильич меня обнял и кричит:

— Люблю тебя! Довольно тебе киснуть в твоем Центросоюзе. Устраиваю тебя к нам в трест. У нас теперь сокращение штатов, стало быть, вакансии есть. А я в тресте и царь, и Бог!

А трестовый его приятель гаркнул «верно!» — и от восторга бокал об пол и вдребезги.

Что тут с Пал Васильичем сделалось!

— Что, — кричит, — ширину души желаешь показать? Бокальчик разбил и счастлив? А. Ха. Ха. Гляди!!

И с этими словами вазу на ножке об пол — раз! А трестовый приятель — бокал! А Пал Васильич — судок! А трестовый — бокал!

Очнулся я только, когда нам счет подали. И тут глянул я сквозь туман — о-д-и-н м-и-л-л-и-а-р-д девятьсот двенадцать миллионов. Да-с.

Помню я, слюнил Пал Васильич бумажки и вдруг вытаскивает пять сотенных и мне:

— Друг! Бери взаймы! Прозябаешь ты в своем Центросоюзе! Бери пятьсот! Поступишь к нам в трест и сам будешь иметь!

Не выдержал я, гражданин. И взял я у этого подлеца пятьсот. Судите сами: ведь все равно пропьет, каналья. Деньги у них в трестах легкие. И вот, верите ли, как взял я эти проклятые пятьсот, так вдруг и сжало мне что-то сердце. И обернулся я машинально и вижу сквозь пелену — сидит в углу какой-то человек и стоит перед ним бутылка сельтерской. И смотрит он в потолок, а мне, знаете ли, почудилось, что смотрит он на меня. Словно, знаете ли, невидимые глаза у него — вторая пара на щеке.

И так мне стало как-то вдруг тошно, выразить вам не могу!

— Гоп, ца, дрица, гоп, ца, ца!!

И как боком к двери. А лакеи впереди понеслись и салфетками машут!

И тут пахнуло воздухом мне в лицо. Помню еще, захрюкал опять шофер и будто ехал я стоя. А куда — неизвестно. Начисто память отшибло…

И просыпаюсь я дома! Половина третьего.

И голова — Боже ты мой! — поднять не могу! Кой-как припомнил, что это было вчера, и первым долгом за карман — хвать. Тут они — пятьсот! Ну, думаю — здорово! И хоть голова у меня разваливается, лежу и мечтаю, как это я в тресте буду служить. Отлежался, чаю выпил, и полегчало немного в голове. И рано я вечером заснул.

И вот ночью звонок…

А, думаю, это, вероятно, тетка ко мне из Саратова.

И через дверь, босиком, спрашиваю:

— Тетя, вы?

И из-за двери голос незнакомый:

— Да. Откройте.

Открыл я и оцепенел…

— Позвольте… — говорю, а голоса нету, — узнать, за что же?..

Ах, подлец!! Что ж оказывается? На допросе у следователя Пал Васильич (его еще утром взяли) и показал:

— А пятьсот из них я передал гражданину такому-то — это мне, стало быть!

Хотел было я крикнуть: ничего подобного!!

И, знаете ли, глянул этому, который с портфелем, в глаза… И вспомнил! Батюшки, сельтерская! Он! Глаза-то, что на щеке были, у него во лбу!

Замер я… не помню уж как, вынул пятьсот… Тот хладнокровно другому:

— Приобщите к делу.

И мне:

— Потрудитесь одеться.

Боже мой! Боже мой! И уж как подъезжали мы, вижу я сквозь слезы, лампочка горит над надписью «Комендатура». Тут и осмелился я спросить:

— Что ж такое он, подлец, сделал, что я должен из-за него свободы лишиться?..

А этот сквозь зубы и насмешливо:

— О, пустяки. Да и не касается это вас.

А что не касается! Потом узнаю: его чуть ли не по семи статьям… тут и дача взятки, и взятие, и небрежное хранение, а самое-то главное — растрата! Вот оно какие пустяки, оказывается! Это он — негодяй, стало быть, последний вечер доживал тогда — чашу жизни пил! Ну-с, коротко говоря, выпустили меня через две недели. Кинулся я к себе в отдел. И чувствовало мое сердце: сидит за моим столом какой-то новый во френче, с пробором.

— Сокращение штатов. И кроме того, что было… Даже странно…

И задом повернулся и к телефону.

Помертвел я… получил ликвидационные… за две недели вперед 105 и вышел.

И вот с тех пор без перерыва и хожу… и хожу. И ежели еще неделька так, думаю, то я на себя руки наложу!..

Комментарии. В. И. Лосев

Чаша жизни

Впервые — «Литературное приложение» к газете «Накануне». 1922. № 33. 31 декабря. С подписью: «Михаил Булгаков». Перепечатано в «Новой вечерней газете» (Владивосток) (1923. 27 февраля).

Печатается по тексту «Литературного приложения» к «Накануне».

Под стеклянным небом

Жулябия в серых полосатых брюках и шапке, обитой вытертым мехом, с небольшим мешочком в руках. Физиономия, словно пчелами искусанная, и между толстыми губами жеваная папироска.

Мимо блестящего швейцара просунулась фигурка. В серой шинели и в фуражке с треснувшим пополам козырьком. На лице беспокойство, растерянность. Самогонный нос. Несомненно, курьер из какого-нибудь учреждения. Жулябия, метнув глазами, зашаркала резиновыми галошами и подсунулась к курьеру.

— Что продаешь?

— Облигацию… — ответил курьер и разжал кулак. Из него выглянула сизая облигация.

— Почем? — жулябины глаза ввинтились в облигацию.

— Сто десять бы… — квакнул, заикнувшись, курьер. Боевые искры сверкнули в глазах на распухшем лице.

— Симпатичное лицо у тебя, вот что я тебе скажу, — заговорила жулябия, — за лицо тебе предлагаю: девяносто рубликов. Желаешь? Другому бы не дала. Но ты мне понравился.

У курьера рот от изумления стал круглым под мочальными усами. Он машинально повернулся к зеркальному окну магазина; ища в нем своего отражения. Веселые огни заиграли в жулябиных глазах. Курьер отразился в зеркале во всем очаровании своего симпатичного лица под перебитым козырьком.

— По рукам? — стремительно произвела второй натиск жулябия.

— Да как же… Господи, — ведь давали-то нам по сто двадцать пять…

— Чудак! Давали! Дать и я тебе дам за сто двадцать пять. Хоть сию минуту. Ты, брат, не забывай, что давать — это одно, а брать — совсем другое.

— Да ведь они в мае двести будут…

— Это резонно! — победно рявкнула жулябия, — так вот, даю тебе совет: держи ее до мая!

И тут жулябия круто вильнула на 180 градусов и сделала вид, что уходит. Но на курьера уже наплывали двое новых ловцов. Бронзовый лик юго-восточного человека и расплывчатый бритый московский блин. Поэтому жулябия круто сыграла назад.

— Вот последнее мое слово. Чтобы не ходил ты тут и не страдал, даю тебе еще два рублика. Мой трамвай. Исключительно потому, что ты — хороший человек.

— Давайте! — пискнул в каком-то отчаянии курьер и двинул фуражку на затылок.

* * *

В бесконечных продолговатых стеклянных крышах торговых рядов — бледный весенний свет. На балконе над фонтаном медный оркестр играет то нудные вальсы, то какую-то музыкальную гнусность — «попурри из русских песен», от которой вянут уши.

Вокруг фонтана непрерывное шарканье и шелест. Ни выкриков, ни громкого говора. Но то и дело проходящие фигуры начинают бормотать:

— Куплю доллары, продам доллары.

— Куплю займ, банкноты куплю.

И чаще всего таинственнее, настороженнее:

— Куплю золото. Продам золото…

— Золото… золото… золото… золото…

Золота не видно, золота не слышно, но золото чувствуется в воздухе. Незримое золото где-то тут бьется в крови.

Выныривает в куцей куртке валютчик и начинает волчьим шагом уходить по проходу вбок от фонтана. За ним тащится другая фигура. В укромном пустом углу у дверей, ведущих к памятнику Минина и Пожарского, остановка.

Из недр куцего пальто словно волшебством выскакивает золотой диск. Вот оно, золото.

Фигура вертит в руках, озираясь, золотушку с царским портретом.

— А она, того… хорошая?

Куцее пальто презрительно фыркает:

— Здесь не Сухаревка. Я их сам не делаю.

Фигура боязливо озирается, наклоняется и легонько бросает монетку на пол. Мгновенный, ясный золотой звон. Золото! Монетка исчезает в кармане пальто. Куцее пальто мнет и пересчитывает дензнаки. Быстро расходятся. И снова беспрерывное кружение у фонтана. И шепот, шепот… Золото… золо… зо…

* * *

Один из коридоров-рядов загорожен. У загородки сидит загадочно улыбающийся гражданин с билетной книжкой в руках. Угодно идти совершать операции на бирже, пожалуйте билет за 40 лимонов.

Вне огороженного пространства операции не поощряются ни в какой мере. Но ведь нельзя же людям запретить гулять в рядах возле фонтана! А если люди бормочут, словно во сне? Опять-таки никакого криминала в этом обнаружить нельзя. Идет гражданин и шепчет, даже ни к кому не обращаясь:

— Куплю мелкое серебро… Куплю мелкое серебро…

Мало ли оригиналов!..

Среди сомнамбулических джентльменов появляются дамы салонного вида с тревожными глазами. Жены чиновников — случайные валютчицы. Или пришли продать золотушки, что на черный день хранились в штопаных носках в комоде, или, обуреваемые жадностью, пришли купить одну-две монеты. Нажужжали знакомые в уши, что десятка растет, растет… растет… Золото… золото…

— Золото, Марь Иванна, надо купить. Это дело верное.

Марь Иванна жмется в темный угол в рядах. Марь Иванна звякнет монеткой об пол.

— А она не обтертая?

— Вы, мадам… — обижается валютчик, — довольно странно с вашей стороны, мадам!

— Ну, ну, вы не обижайтесь! Да вот царь тут какой-то странный. Выражение лица у него…

— Я, мадам, ему выражения лица не делал. Обыкновенное выражение.

Марь Иванна торопливо вытаскивает из сумочки скомканные бумажки. Монетка исчезает на дне сумочки.

В толпе профессионалов мелькают случайные фуражки с вытертыми околышами. Все по тому же случайному золотому делу. Мелькают подкрашенные и бледные ночные бабочки-женщины. Обыкновенные прохожие, что сквозным током идут через галереи с Николаевской на Ильинку, покупатели в бесчисленные магазины Гума в рядах. Они смешиваются, сталкиваются, растворяются в гуще валютчиков, вертящихся у фонтана и в галереях. Среди них профессионалы всех типов и видов. Московские в шапках с наушниками, с мрачной думой в глазах, с неряшливыми небритыми лицами, темные восточные, западные и южные люди. Вытертые, ветром подбитые пальто и дорогие бобровые воротники. Сухаревские ботинки-лепешки и изящная лаковая обувь. Седые и безусые. Наглые и вежливые. Медлительные и неуловимые, как ртуть. Профессионалы. Ничем не занимаются, ничем не интересуются, кроме золота, золота, золота. Часами бродят у фонтана. Выглядывают, высматривают, выклевывают.

* * *

В пять часов дня. Когда в куполах еще полный серо-матовый, дневной, весенний, стеклянный свет, в галереях светло, гулко. В окнах магазинов горят лампы. На углу у фонтана в витринах играют золотые искры на портсигарах, кубках, подстаканниках, на камнях-самоцветах. Из кафе пахнет

жареным. Лотереи-аллегри с полубутылочками кислого вина и миниатюрными коробками конфет бойко торгуют.

Но вот сверлит свисток. Конец черной бирже на сегодняшний день. Из-за загородки сыпят биржевики. Конец и фонтанной чернейшей бирже, что торгует шепотом и озираясь. Еще шелестит торопливо:

— Золото… золото.

Еще ловят быстрыми взглядами покупателей. Десятка прыгнула на 15 лимонов вверх. Но уже редеет толпа. Расползаются к выходам черные шубы, серые пальто. Пустеют коридоры. Звонко стучат шаги. Ближе весенний вечер, и в стеклянном продолговатом, мелко переплетенном небе нежно и медленно разливается вечерняя заря.

Комментарии. В. И. Лосев

Под стеклянным небом

Впервые — Накануне. 1923. 24 апреля. С подписью: «Булгаков Михаил».

Печатается по тексту газеты «Накануне».

Бенефис лорда Керзона

Ровно в шесть утра поезд вбежал под купол Брянского вокзала. Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами — Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить.

Вот они, извозчики. На Садовую запросили 80 миллионов. Сторговался за полтинник. Поехали. Москва. Москва. Из парков уже идут трамваи. Люди уже куда-то спешат. Что-то здесь за месяц новенького? Извозчик повернулся, сел боком, повел туманные, двоедушные речи. С одной стороны, правительство ему нравится, но с другой стороны — шины полтора миллиарда! Первое Мая ему нравится, но антирелигиозная пропаганда «не соответствует». А чему, неизвестно. На физиономии написано, что есть какая-то новость, но узнать ее невозможно.

Пошел весенний благодатный дождь, я спрятался под кузов, и извозчик, помахивая кнутом, все рассказывал разные разности, причем триллионы называл «триллиардами» и плел какую-то околесину насчет патриарха Тихона, из которой можно было видеть только одно, что он — извозчик — путает Цепляка, Тихона и епископа Кентерберийского.

И вот дома. А никуда я больше из Москвы не поеду. В десять простыня «Известий», месяц в руках не держал. На первой же полосе — «Убийство Воровского!»

Вот оно что. То-то у извозчика — физиономия. В Москве уже знали вчера. Спать не придется днем. Надо идти на улицу, смотреть, что будет. Тут не только Воровский. Керзон. Керзон. Керзон. Ультиматум. Канонерка. Тральщики. К протесту, товарищи!! Вот так события! Встретила Москва. То-то показалось, что в воздухе какое-то электричество!

И все-таки сон сморил. Спал до двух дня. А в два проснулся и стал прислушиваться. Ну да, конечно, со стороны Тверской — оркестр. Вот еще. Другой. Идут, очевидно.

В два часа дня Тверскую уже нельзя было пересечь. Непрерывным потоком, сколько хватал глаз, катилась медленно людская лента, а над ней шел лес плакатов и знамен. Масса старых знакомых, октябрьских и майских, но среди них мельком новые, с изумительной быстротой изготовленные, с надписями, весьма многозначительными. Проплыл черный траурный плакат: «Убийство Воровского — смертный час европейской буржуазии». Потом красный: «Не шутите с огнем, господин Керзон. Порох держим сухим».

Поток густел, густел, стало трудно пробираться вперед по краю тротуара. Магазины закрылись, задернули решетками двери. С балконов, с подоконников глядели сотни голов. Хотел уйти в переулок, чтобы окольным путем выйти на Страстную площадь, но в Мамонтовском безнадежно застряли ломовики, две машины и извозчики. Решил катиться по течению. Над толпой поплыл грузовик-колесница. Лорд Керзон в цилиндре, с раскрашенным багровым лицом, в помятом фраке, ехал стоя. В руках он держал веревочные цепи, накинутые на шею восточным людям в пестрых халатах, и погонял их бичом. В толпе сверлил пронзительный свист. Комсомольцы пели хором:

Пиши, Керзон, но знай ответ:

Бумага стерпит, а мы нет!

На Страстной площади навстречу покатился второй поток. Шли красноармейцы рядами без оружия. Комсомольцы кричали им по складам:

Да здрав-ству-ет Крас-на-я Ар-ми-я!!

Милиционер ухитрился на несколько секунд прорвать реку и пропустить по бульвару два автомобиля и кабриолет. Потом ломовикам хрипло кричал:

— В объезд!

Лента хлынула на Тверскую и поплыла вниз. Из переулка вынырнул знакомый спекулянт, посмотрел: знамена, многозначительно хмыкнул и сказал:

— Не нравится мне это что-то… Впрочем, у меня грыжа.

Толпа его затерла за угол, и он исчез.

В Совете окна были открыты, балкон забит людьми. Трубы в потоке играли «Интернационал», Керзон, покачиваясь, ехал над головами. С балкона кричали по-английски и по-русски:

— Долой Керзона!!

А напротив на балкончике под обелиском Свободы Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:

…британ-ский лев вой!

Ле-вой! Ле-вой!

— Ле-вой! Ле-вой! — отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибала к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:

— Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!

И стал объяснять:

— Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо!! Когда убивали бакинских коммунистов…

Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:

— Вставай, проклятьем заклейменный!

Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:

— В отставку Керзона!!

В Охотном во всю ширину шли бесконечные ряды, и видно было, что Театральная площадь залита народом сплошь. У Иверской трепетно и тревожно колыхались огоньки на свечках, и припадали к иконе с тяжкими вздохами четыре старушки, а мимо Иверской через оба пролета Вознесенских ворот бурно сыпали ряды. Медные трубы играли марши. Здесь Керзона несли на штыках, сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Керзоном из пролета выехал джентльмен с доской на груди: «Нота», затем гигантский картонный кукиш с надписью: «А вот наш ответ».

По Никольской удалось проскочить, но в Третьяковском опять хлынул навстречу поток. Тут Керзон мотался на веревке на шесте. Его били головой о мостовую. По Театральному проезду в людских волнах катились виселицы с деревянными скелетами и надписями: «Вот плоды политики Керзона». Лакированные машины застряли у поворота на Неглинный в гуще народа, а на Театральной площади было сплошное море. Ничего подобного в Москве я не видал даже в октябрьские дни. Несколько минут пришлось нырять в рядах и закипающих водоворотах, пока удалось пересечь ленту юных пионеров с флажками, затем серую стену красноармейцев и выбраться на забитый тротуар у Центральных бань. На Неглинном было свободно. Трамваи всех номеров, спутав маршруты, поспешно уходили по Неглинному. До Кузнецкого было свободно, но

на Кузнецком опять засверкали красные пятна и посыпались ряды. Рахмановским переулком на Петровку, оттуда на бульварное кольцо, по которому один за другим шли трамваи. У Страстного снова толпы. Выехала колесница — клетка. В клетке сидели Пилсудский, Керзон, Муссолини. Мальчуган на грузовике трубил в огромную картонную трубу. Публика с тротуаров задирала головы. Над Москвой медленно плыл на восток желтый воздушный шар. На нем была отчетливо видна часть знакомой надписи: «…всех стран соеди…»

Из корзины пилоты выбрасывали листы летучек, и они, ныряя и чернея на голубом фоне, тихо падали в Москву.

Комментарии. В. И. Лосев

Бенефис лорда Керзона

Впервые — Накануне. 1923. 19 мая. С подписью: «Михаил Булгаков». Фельетон имеет дату «12 мая 1923 г.»

Печатается по тексту газеты «Накануне».

Булгаков с 21 апреля по 10 мая 1923 г. был в Киеве, в первый раз после мимолетного свидания с родным городом в сентябре 1921 г. Эта поездка имела важные творческие последствия для писателя — и для создания романа «Белая гвардия», и для написания других произведений. Но, возвратившись в Москву, он попал в водоворот текущих политических событий, которые с блеском описывал для газеты «Накануне».

Комаровское дело

С начала 1922 года в Москве стали пропадать люди. Случалось это почему-то чаще всего с московскими лошадиными барышниками или подмосковными крестьянами, приезжавшими покупать лошадей. Выходило так, что человек и лошади не покупал, и сам исчезал.

В то же время ночами обнаруживались странные и неприятные находки — на пустырях Замоскворечья, в развалинах домов, в брошенных, недостроенных банях на Шаболовке оказывались смрадные, серые мешки. В них были голые трупы мужчин.

После нескольких таких находок в Московском уголовном розыске началась острая тревога. Дело было в том, что все мешки с убитыми носили на себе печать одних и тех же рук — одной работы. Головы были размозжены, по-видимому, одним и тем же тупым предметом, вязка трупов была одинаковая — всегда умелая и аккуратная — руки и ноги притянуты к животу. Завязано прочно, на совесть.

Розыск начал работать по странному делу настойчиво. Но времени прошло немало, и свыше тридцати человек улеглись в мешки среди груд замоскворецких кирпичей.

Розыск шел медленно, но упорно. Мешки вязались характерно — так вяжут люди, привычные к запряжке лошадей. Не извозчик ли убийца? На дне некоторых мешков нашлись следы овса. Большая вероятность — извозчик. Двадцать два трупа уже нашли, но опознали из них только семерых. Удалось выяснить, что все были в Москве по лошадиному делу. Несомненно — извозчик.

Но больше никаких следов. Никаких нитей абсолютно от момента, когда человек хотел купить лошадь, и до момента, когда его находили мертвым, не было. Ни следа, ни разговоров, ни встреч. В этом отношении дело, действительно, исключительное.

Итак — извозчик. Трупы в Замоскворечье, опять в Замоскворечье, опять. Убийца — извозчик, живет в Замоскворечье.

Агентская широкая петля охватила конные площади, чайные, стоянки, трактиры. Шли по следам замоскворецкого извозчика.

И вот в это время очередной труп нашли со свежей пеленкой, окутывающей размозженную голову. Петля сразу сузилась — искали семейного, у него недавно ребенок.

Среди тысячи извозчиков нашли.

Василий Иванович Комаров, легковой, проживал на Шаболовке в доме № 26. Извозным промыслом занимался странно — почти никогда не рядился, но на конной площади часто бывал. Деньги имел всегда. Пил много.

Ночью на 18 мая в квартиру на Шаболовку явилась агентура с ордером окружной милиции, якобы по поводу самогонки. Легковой встретил их с невозмутимым спокойствием. Но когда стали открывать дверь в чуланчик на лестнице, он, выпрыгнув со второго этажа в сад, ухитрился бежать, несмотря на то, что квартиру оцепили.

Но ловили слишком серьезно и в ту же ночь поймали в подмосковном Никольском, у знакомой молочницы Комарова. Застали Комарова за делом. Он сидел и писал на обороте удостоверения личности показание о совершенных им убийствах и в этом показании зачем-то путал и оговаривал своих соседей.

В Москве на Шаболовке в это время агенты осматривали последний труп, найденный в чулане. Когда чулан открывали, убитый был еще теплый.

* * *

Пока шло следствие, Москва гудела словом «Комаров-извозчик». Говорили женщины о наволочках, полных денег, о том, что Комаров кормил свиней людскими внутренностями и т. д.

Все это, конечно, вздор.

Но та сущая правда, что выяснилась на следствии, такого сорта, что уж лучше были бы и груды денег в наволочках, и даже гнусная кормежка свиней или какие-нибудь зверства, извращения. Оно, пожалуй, было бы легче, если б было запутанней и страшней, потому что тогда стало бы понятно самое страшное во всем этом деле — именно сам этот человек, Комаров (несущественная деталь: он, конечно, не Комаров Василий Иванович, а Петров Василий Терентьевич. Фальшивая фамилия, вероятно, след уголовного, черного прошлого… Но это неважно, повторяю).

Никакого желания нет писать уголовный фельетон, уверяю читателя, но нет возможности заняться ничем другим, потому что сегодня неотступно целый день сидит в голове желание все-таки этого Комарова понять.

Он, оказывается, рогожи специальные имел, на эти рогожи спускал из трупов кровь (чтобы мешков не марать и саней); когда позволили средства, для этой же цели купил оцинкованное корыто. Убивал аккуратно и необычайно хозяйственно: всегда одним и тем же приемом, одним молотком по темени, без шума и спешки, в тихом разговоре (убитые все и были эти интересовавшиеся лошадьми люди. Он предлагал им на конной свою лошадь и приглашал их для переговоров на квартиру) наедине, без всяких сообщников — услав жену и детей.

Так бьют скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя.

Вне этого был обыкновенным плохим человеком, каких миллионы. И жену, и детей бил и пьянствовал, но по праздникам приглашал к себе священников, те служили у него, он их угощал вином. Вообще был богомольный, тяжелого характера человек.

Репортеры, фельетонисты, обыватели щеголяли две недели словом «человек-зверь». Слово унылое, бессодержательное, ничего не объясняющее. И настолько выявлялась эта мясная хозяйственность в убийствах, что для меня лично она сразу убила все эти несуществующие «зверства», и утвердилась у меня другая формула «и не зверь, но и ни в коем случае не человек».

Никак нельзя назвать человеком Комарова, как нельзя назвать часами одну луковицу, из которой вынут механизм.

* * *

Эту формулу для меня процесс подтвердил. Предстал перед судом футляр от человека — не имеющий в себе никаких признаков зверства. Впрочем, может быть, какие-нибудь особенные, доступные специалисту-психиатру черты и есть, но на обыкновенный взгляд — пожилой обыкновенный человек, лицо неприятное, но не зверское, и нет в нем никаких признаков вырождения.

Но когда это создание заговорило перед судом, и в особенности захихикало сиплым смешком, хоть и не вполне, но в значительной мере (не знаю, как другим), мне стало понятно, что это значит, — «не человек».

Когда его первая жена отравилась, оно — это существо — сказало:

— Ну и черт с ней!

Когда существо женилось второй раз, оно не поинтересовалось даже узнать, откуда его жена, кто она такая.

— Мне-то что, детей, что ли, с ней крестить! (Смешок.)

— Раз и квас! (На вопрос, как убивал. Смешок.)

— Хрен его знает! (На многие вопросы эта идиотская поговорка. Смешок.)

— Человечиной не кормили ваших поросят?

— Нет (хи-хи!)… да если б кормил, я бы больше поросят завел… (хи-хи!)

Дальше — больше. Все в жизни — этот залихватский, гнусный «хрен», сопровождаемый хихиканьем. Оказывается, людей кругом нет. Есть «чудаки» и «хомуты». Презирает. Какая тут «звериность»! Если б зверино ненавидел и с яростью убивал, не так бы оскорбил всех окружающих, как этим изумительным презрением. Собаку — животное — можно было бы замучить этим из ряда выходящим невниманием, которым Комаров награждал окружающих людей. Жена его — «римско-католическая пани» (хи-хи). «Много кушает». Ни злобы, ни скупости. «Пусть кушает возле меня эта римско-католическая рвань». Злобы нет, но «оплеухи иногда я ей давал». Детей бил «для науки».

— Зачем убивали?

Тут сразу двойное. Но все понятно. Во-первых, для денег. Во-вторых, вот «не любил людей». Вот, бывают такие животные, что убить его — двойная прибыль: и польза, и сознание, что избавишься от созерцания неприятного Божьего создания. Гусеница, скажем, или змея… Так Комарову — люди.

Словом, создание — мираж в оболочке извозчика. Хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди. Вне людей.

Жуткий ореол «человека-зверя» исчез. Страшного не было. Но необычайно отталкивающее.

* * *

Изъять. Он боялся? Нет. Он — сильное, не трусливое существо.

По-моему, над интервьюерами, следствием и судом полегоньку даже глумился. Иногда чепуху какую-то городил. Но вяло. С усмешечкой. Интересуетесь? Извольте. «Цыганку бы убить или попа»… Зачем? «Да так»…

И чувствуется, что никакой цыганки убивать ему вовсе не хотелось, равно как и попа, а так — насели с вопросами «чудаки», он и говорит первое, что взбредет на ум.

Интервьюер спросил, что он думает о том, что его ожидает. «Э… все поколеем!»

Равнодушен, силен, не труслив и очень глупый в человеческом смысле. Прибаутки его ни к селу ни к городу, мысли скупые, нелепые. И на человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане!.. все это чуйки, отравленные большими городами.

Что касается силы.

В одну из ночей, не знаю, после какого именно убийства, вез запакованный обескровленный труп к Москве-реке. Милиционер остановил:

— Что везешь?

— А ты, дурной, — мягко ответил Комаров, — пощупай.

Милиционер был действительно «дурной». Он потрогал мешок и пропустил Комарова.

Потом Комаров стал ездить с женой.

* * *

Вследствие этих поездок на скамье рядом с Комаровым оказалась Софья Комарова.

Лицо тоже знакомое. Не раз на Сухаревке, на Домниковке, на Смоленском приходилось видать такие длинные, унылые лица, желтые бабьи лица, окаймленные платком.

Комарова выводили, когда Софья давала показания, и, несмотря на это, сложилось впечатление, что она чего-то не договаривала. Думается, что никаких особенных тайн, впрочем, она не скрыла. Во время убийств Комаров ее высылал вместе с ребятами. А может быть, и помогала временами — прибрать, замыть после работы. Дело — женское.

Ну, и вот эти поездки.

«Так… дурочка… слабая», — определил ее муж. Несомненно, над тупой, пустой «римско-католической» бабой висела камнем воля мужа.

* * *

Приговор?

Ну, что тут о нем толковать.

Приговор в первый раз вынесли Комарову, когда милиция под конвоем повезла его, чтобы он показал, где закопал часть трупов (несколько убитых он зарыл близ своей квартиры на Шаболовке).

Словно по сигналу, слетелась толпа. Вначале были выкрики, истерические вопли баб. Затем толпа зарычала потихоньку и стала наваливаться на милицейскую цепь — хотела Комарова рвать.

Непостижимо, как удалось милиции отбить и увезти Комарова.

Бабы в доме, где я живу, тоже вынесли приговор «сварить живьем».

— Зверюга. Мясорубка. У этих тридцати пяти мужиков сколько сирот оставил, сукин сын.

На суде три психиатра смотрели:

— Совершенно нормален. Софья — тоже.

Значит…

— Василия Комарова и жену его Софью к высшей мере наказания, детей воспитывать на государственный счет.

От души желаю, чтобы детей помиловал тяжкий закон наследственности.

Не дай Бог походить им на покойных отца и мать.

Комментарии. В. И. Лосев

Комаровское дело

Впервые — Накануне. 1923. 20 июня. С подписью: «Михаил Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Накануне».

Дело об убийстве Комаровым-Петровым десятков людей вызвало в Москве небывалый интерес. Суд, состоявшийся 6–8 июня 1923 г. в Политехническом музее, приговорил Комарова-Петрова и его жену-сообщницу к высшей мере наказания. Однако публикации на эту тему продолжались в течение нескольких месяцев. Чаще всего это уголовное дело стремились представить в политической окраске. С совершенно чудовищным материалом, как всегда, выступил Демьян Бедный в журнале «Безбожник» (1923. № 7).

На Булгакова дело Комарова произвело колоссальное впечатление, но прежде всего с точки зрения нравственно-психологической. Об этом, к счастью, сохранились воспоминания Августа Явича, знавшего Булгакова по совместной работе в «Гудке». Вот его впечатления о преступнике и об отношении Булгакова к этому делу:

«В Москве проходил судебный процесс над Комаровым, озверелым убийцей, именовавшим свои жертвы презрительно „хомутами". Промышляя извозом, он заманивал людей, чтобы „спрыснуть

выгодное дельце", опаивал, убивал и грабил… И вот я увидел в суде этого благообразного и трусливого изувера… С поистине дьявольским равнодушием, не повышая голоса, монотонно рассказывал он суду бесчеловечные подробности своего беспримерного занятия, от которого веяло камерой пыток, смирительной рубахой и смрадом бойни.

Не помню уже, как случилось, но это именно дело и послужило поводом для нашего с Булгаковым разговора о том, каких великанов и каких злодеев способна родить русская земля, стоящая на праведниках, как утверждал Достоевский. И Булгаков позвал меня к себе продолжить спор совсем в карамазовском духе…

Сначала спор велся вокруг Комарова с его „хомутами" и Раскольникова с его „египетскими пирамидами", пока Булгаков, явно пытаясь поддеть меня, не заметил как бы вскользь:

— Этак, чего доброго, и до Наполеона доберетесь…

— Никогда не поставил бы Наполеона при всех его преступлениях в ряду тиранов, таких как Иван Грозный. Вот к кому ближе всего Комаров!..

Так вот, то поднимаясь, то опускаясь по ступенькам истории, мы стали вспоминать безумных владык, принесших своим народам неисчислимые страдания и бедствия. Я аккуратно цитировал „Психиатрические эскизы из истории" Ковалевского. Булгаков приводил другие исторические примеры. Мы бродили по векам…» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 157–159).

Для Булгакова самым ужасным в этом деле было то, что он не мог понять Комарова-Петрова. Точно так же он не мог понять тех «безумцев», которые тысячами шли за Троцким, тех «негодяев», которые разрушали православные храмы… Но не случайно же в письме к правительству (28 марта 1930 г.) он назвал главной чертой своего творчества «изображение страшных черт» русского народа…

Самоцветный быт

Все правда, за исключением последнего: «прогрессивный аппетит».

I. В ВОЛНАХ АЗАРТА

Знакомый журналист сообщил мне содержание следующего документа:

«Гражданину директору казино

Капельмейстера 3.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Имею честь заявить, что в Вашем уважаемом «Монако» я проиграл: бесценные мои наследственные золотые часы, пять тысяч рублей дензнаками 23 г. и 16 инструментов вверенного мне духового оркестра, каковой вследствие этого закрылся 5 числа.

Ввиду того, что я нахожусь теперь в ожидании пролетарского суда за несдачу казенного обмундирования, выразившегося в гимнастерке, штанах и поясе, прошу для облегчения моей участи выдать мне хотя бы три тысячи».

На заявлении почерком ошеломленного человека написано: «Выдать».

II. СРЕДСТВО

ОТ ЗАСТЕНЧИВОСТИ

Лично я получил такую заметку, направленную из глухой провинции в редакцию столичной газеты:

«Товарищ редактор,

пропустите, пожалуйста, мою статью или, проще выразиться, заметку с пригвождением к черной доске нашего мастера Якова (отчество и фамилия). Означенный Яков (отчество и фамилия) омрачил наш международный праздник работницы 8 марта, появившись на эстраде в качестве содокладчика как зюзя пьяный. По своему состоянию он, не читая содоклада, а держась руками за лозунги и оборвав два из них, лишь улыбался бесчисленной аудитории наших работниц, которая дружно, как один, заполнила клуб.

Когда заведующий культотделом спросил у Якова о причине его такого позорного выступления, он ответил, что выпил перед содокладом от страха, ввиду того, что он с женским полом застенчив. Позор Якову (отчество и фамилия). Таких застенчивых в нашем профессиональном союзе не нужно».

III. СКОЛЬКО БРОКГАУЗА

МОЖЕТ ВЫНЕСТИ ОРГАНИЗМ

В провинциальном городишке В. лентяй-библиотекарь с лентяями из местного культотдела плюнули на работу, перестав заботиться о сколько-нибудь осмысленном снабжении рабочих книгами.

Один молодой рабочий, упорный человек, мечтающий об университете, отравлял библиотекарю существование, спрашивая у него советов о том, что ему читать. Библиотечная крыса, чтобы отвязаться, заявила, что сведения «обо всем решительно» имеются в словаре Брокгауза.

Тогда рабочий начал читать Брокгауза. С первой буквы А.

Чудовищно было то, что он дошел до пятой книги (Банки — Бергер).

Правда, уже со второго тома слесарь стаи плохо есть, как-то осунулся и сделался рассеянным. Он со вздохом, меняя прочитанную книгу на новую, спрашивал у культотдельской грымзы, засевшей в пыльных книжных баррикадах, «много ли осталось?». В пятой книге с ним стали происходить странные вещи. Так, среди бела дня он увидал на улице В., у входа в мастерские Бана Абуль Абас-Ахмет-Ибн-Магомет-Отман-Ибн-Аль, знаменитого арабского математика, в белой чалме.

Слесарь был молчалив в день появления араба, написавшего «Тальме-Амаль-Аль-Хисоп», догадался, что нужно сделать антракт, и до вечера не читал. Это, однако, не спасло от двух визитов в молчании бессонной ночи — сперва развитого синдика вольного ганзейского города Эдуарда Банкса, а затем правителя канцелярии малороссийского губернатора Димитрия Николаевича Бантыш-Каменского.

День болела голова. Не читал. Но через день двинулся дальше. И все-таки прошел через Банювангис, Бньюмас, Боньер-де-Бигир и через два Боньякавало, человека и город.

Крах произошел на самом простом слове «Барановские». Их было 9: Владимир, Войцех, Игнатий, Степан, 2 Яна, а затем Мечислав, Болеслав и Богуслав.

Что-то сломалось в голове у несчастной жертвы библиотекаря.

— Читаю, читаю, — рассказывал слесарь корреспонденту, — слова легкие: Мечислав, Богуслав, и, хоть убей, — не помню — какой кто. Закрою книгу — все вылетело! Помню одно: Мадриан. Какой, думаю, Мадриан? Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть 2 Баранецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан.

У него на глазах были слезы.

Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив пытку. Посоветовал забыть все, что прочитал, и написал о библиотекаре фельетон, в котором, не выходя из пределов той же пятой книги, обругал его безголовым моллюском и барсучьей шкурой.

IV. ИНОСТРАННОЕ СЛОВО

«МОТИВИРОВАТЬ»

На Н… заводе в провинции нэпман совместно с администрацией отвоевали у рабочего квартиру, зажав его с семьей в сыром и вонючем подвале.

Бедняга долго барахтался в сетях юридических кляуз, пока наконец не пришел в отчаяние и не написал в московскую газету послание, предлагая «заплатить последнее», лишь бы его напечатать.

Газета письмо напечатала. Через две недели пришло второе:

«Не знаю, как Вас и благодорить. Дали квартиру. Только администрация мотивировала меня разными словами в оправдание своих доводов, как кляузника».

V. «РАБОТА СРЕДИ ЖЕНЩИН»

Ответственный работник из центра, прямо с поезда сорвавшись, обрушился в провинциальное учреждение типа просветительного.

— Как, товарищ, у вас работа среди женщин? — скороговоркой грянул столичный, типа — time is money.

— Ничего, — добродушно ответил ему провинциальный, безответственный, беспартийный, дыхнув самогонкой, — у нас насчет этого хорошо. Я с третьей бабой живу.

VI. Р. У. Р

«Мы вам не Рур», — было написано на плакате.

— Российское Управление Романовых, — прочитала моя знакомая дама и прибавила: — Это остроумно. Хотя, вообще говоря, я не люблю большевистского остроумия.

VII. КУРСКАЯ АНОМАЛИЯ

— А много ее действительно, — спросил квартхоз, возвращая мне газету, — или так, очки втирают? Ежели много, можно было бы англичанам продать…

— Вот именно, — согласился я, — пускай подавятся!

VIII. ПРОГРЕССИВНЫЙ АППЕТИТ

Подоходный налог. Одного обложили в 10 миллиардов. Срок 10-го числа в 4 час. дня. Он 9-го утром принес деньги и не протестовал и не подавал заявлений. Молча уплатил.

— Мы его мало обложили, — смекнул инспектор и обложил дополнительно в 100 миллиардов. Срок 15-го, 4 час. дня.

14-го в 10 ч. утра принес.

— Эге-ге! — сказал инспектор.

Обложили в триллион. 20-го, 4 час. дня.

20-го в 4 час. дня обложенный привез на ломовике печатный станок.

— Печатайте сами, — сказал он растерянно.

Анекдот сочинен московскими нэпманами, изъязвленными налогом.

Комментарии. В. И. Лосев

Самоцветный быт

Впервые — «Литературное приложение» к газете «Накануне». 1923. № 61. 15 июля. С подписью: «М. Булгаков».

При жизни писателя переиздавался в: Смехач. 1926. № 15 (Юмористическая иллюстрированная библиотека).

Печатается по тексту «Литературного приложения».

Названия статей из энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (кн. 5) намеренно искажены автором.

Шансон д'этэ

ДОЖДЛИВАЯ ИНТРОДУКЦИЯ

Лето 1923-е в Москве было очень дождливое. Слово «очень» следует здесь расшифровать. Оно не значит, что дождь шел часто, скажем, через день или даже каждый день, нет, дождь шел три раза в день, а были дни, когда он не прекращался в течение всего дня. Кроме того, раза три в неделю он шел по ночам. Вне очереди начинались ливни. Полуторачасовые густые ливни с зелеными молниями и градом, достигавшим размеров голубиного яйца.

По окончании потопа, лишь только в небе появлялись первые голубые клочья, на улицах Москвы происходили оригинальные путешествия: за 5 миллионов переезжали на извозчиках и ломовых с одного тротуара на другой. Кроме того, можно было видеть мужчин, ездивших друг на друге, и женщин, шедших с ногами, обнаженными до пределов допустимого и выше этих пределов.

В редкие антракты, когда небо над Москвой было похоже на взбитые сливки, москвичи говорили:

— Ну, слава Богу, погода устанавливается, уже полчаса дождя не было…

На Тверскую и Театральную площадь выезжали несколько серо-синих бочек, запряженных в одну лошадь, управляемую человеком в прозодежде (брезентовое пальто и брезентовый же шлем). Через горизонтальную трубку, помещенную сзади бочки, сквозь частые отверстия сочилась по столовой ложке вода, оставляя сзади шагом едущей бочки сырую дорожку шириной в два аршина.

Сидя у окна трамвая, я сделал карандашиком в записной книжке подсчет: чтобы полить Театральную площадь, нужно 90 таких одновременно работающих бочек при условии, если они будут ездить карьером.

Небо на издевательство поливального обоза отвечало жуткими пушечными раскатами, косым пулеметным градом, выбивавшим стекла, и реками воды, затоплявшими подвалы. На Неглинной утонули две женщины, потому что Неглинка под землей прорвала трубу и взорвала мостовую. Пожарные команды работали, откачивая воду из кафе «Риш», извозчичьи клячи бесились от секшего града. Это было в июне и в июле. После этого сырой обоз исчез и дождь принял нормальные формы.

Но если обоз опять появится на Театральной, чтобы дразнить небеса, ответственность за гибель Москвы да ляжет на него.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ГРИБЫ

Дожди вызвали в Москве интересный грибной всход. Первыми появились на всех скрещениях красноголовцы. Это были милиционеры в новой форме. На них фуражки с красными околышами, черным верхом и зеленым кантом, зеленые же петлицы и зеленая же гимнастерка и галифе. Со свистками, кокардами и жезлами в чехлах они имеют вид настолько бравый, что глаз приятно отдыхает на них. Милицейское же начальство положительно блестяще.

Ревущие, воющие, крякающие машины в количестве 3 1/2 тысяч бегают по Москве и на всех перекрестках кокетливо-европейски объезжают изваянные красноголовые фигурки на зеленых ножках.

Трамваи в Москве имеют стройный вид: ни на подножках, ни на дугах нет ни одного висящего, и никто — ни один человек в Москве — не прыгает и не соскакивает на ходу. Добился трамвайного идеала Московский Совет в каких-нибудь 5–6 дней гениальным и простым установлением 50-рублевого штрафа на месте преступления. Но в течение этих шести дней возле трамваев и в трамваях была порядочная кутерьма. Красноголовцы с квитанционными книжками выскакивали точно из-под земли и вежливо штрафовали ошалевших россиян.

Наиболее строптивые платили не пятьдесят, а пятьсот, и уже не на месте прыжка, а в милиции.

ПОЗВОЛЬТЕ ПРИКУРИТЬ

Трамвайный штраф имел совершенно неожиданные последствия. Ровно неделю тому назад на Лубянке я подошел на трамвайной остановке к гражданину и попросил у него прикурить. Вместо того, чтобы протянуть мне папиросу, гражданин бросился от меня бежать. Решив, что он сумасшедший, я двинулся дальше по Театральному проезду и получил еще три отказа.

При слове: «Позвольте прикурить», — граждане бледнели и прятали папиросы за спину. Прикурил я за колонной у Александровского пассажа рядом с Мюром, причем дававший прикурить озирался, как волк. От него я узнал, что вышло постановление штрафовать за прикуривание на улице. Основание: бездельники задерживают спешащих на службу совработников.

Чистосердечно признаюсь, я был в числе тех, кто поверил. Кончилось все через несколько дней заметкой в «Известиях», в которой московские жители именовались «обывателями». Но меланхолический тон заметки ясно показывал, что исполненный гражданского мужества автор и сам не прикуривал.

Вслед за красными грибами выросли грибы невиданные: с черными головами. Молодые люди мужского и женского пола в кепи, точь-в-точь таких, в каких бывают мальчики-портье на заграничных кинематографических фильмах. Черноголовцы имеют на руках повязки, а на животах лотки с папиросами. На кепи золотая надпись: «Моссельпром».

Итак, Моссельпром пошел в окончательный и решительный бой с уличной нелегальной торговлей. Мысль великолепная, тем более что черноголовые, оказывается, безработные студенты. Но дело в том, что студенты любят читать книжки. Поэтому очень часто на животе лоток, а на лотке «Исторический материализм» Бухарина. «Исторический материализм», спору нет — книга интересная, но торговля имеет свои капризы и законы. Она требует, чтобы человек вертелся, орал, приставал, напоминал о своем существовании. Публика смотрит на черноголовых благосклонно, но товар иногда боится спрашивать у человека с книжкой, потому что приставать с требованием спичек к юноше, занятому чтением, — хамство. Может быть, он к экзамену готовится?

Я бы на этих лотках написал золотом:

«Книжке — время, а торговле — час».

Мне лично больше всего понравился гриб белый. Это многоэтажный дом на Новинском бульваре, который вырос на месте недостроенных, брошенных в военное время красных кирпичных стен.

Строить, строить, строить! С этой мыслью нам нужно ложиться, с нею вставать. В постройке наше спасение, наш выход, успех. На выставке выросли уже павильоны, выросла железнодорожная ветка, из парков временами выходят блестящие лакированные трамвайные вагоны (вероятно, капитальный ремонт), но нам нужнее дома.

ДАЧНИКИ, ЧЕРТ БЫ ИХ ВЗЯЛ!

Итак, в этом году началось. Они двинулись тучами по всем линиям, расходящимся от Москвы, и сели окрестным пейзанам на шею. Пейзане приняли их, как библейскую саранчу, но саранчу жирную, и содрали с них за каждый час сидения сколько могли. Весь март Акулины и Егоры покупали на задаточные деньги коров, материал на штаны, косы и домашнюю посуду.

Иван Иванычи и Марьи Иванны забрали с собой керосиновые лампы, «Ключи счастья», одеяла, золотушных детей, и поселились в деревянных курятниках, и взвыли от комаров. Чрез неделю оказалось, что комары малярийные. Дачники питались пейзанским молоком, разведенным на 50 % водой, и хиной, за которую в дачных аптеках брали в три раза дороже, чем в Москве. На всех речонках расселись паразиты с гнилыми лодками, на станциях паразитки с мороженым, пивом, папиросами, грязными черешнями. В зелени, лаская глаз, выросла красивая надпись:

«ЛОТО НА КЛЯЗЬМЕ С 5 ЧАС. ВЕЧЕРА»

и повсюду: «Ресторан».

На речонках и прудах до рассвета лопотали моторы. У станций стаями торчали бородачи в синих кафтанах и драли за 1/4 версты дороже, чем в Москве за 1 1/2 версты.

За мясо, за яблоки, за дрова, за керосин, за синее молоко — вдвое!

— Пляж у нас, господин, замечательный… Останетесь довольны. В воскресенье — чистый срам. Голье, ну, в чем мать родила, по всей реке лежат. Только вот — дожжик! (В сторону.) Что это за люди, прости Господи! Днем голые на реке лежат, ночью их черти по лесу носят!

Пейзане вставали в 3 часа утра, чтобы работать, дачники в это время ложились спать. Днем пейзане доили коров, косили, жали, убирали, стучали топорами, дачники изнывали в деревянных клетушках, читали «Атлантиду» Бенуа, шлялись под дождем в тоскливых поисках пива, приглашали дачных врачей, чтобы их лечили от малярии, и по утрам пачками, зевая и томясь, стоя, неслись в дачных вагонах в Москву.

Наконец дождь их доконал, и целыми батальонами они начали дезертировать. В Москву, в Эрмитаж и Аквариум. Еще дней 5–6, и они вернутся все.

Нету от них спасения!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД

Дождь, представьте, опять пошел.

Выйдем на берег.

Там волны будут нам ноги лобзать.

Комментарии. В. И. Лосев

Шансон д'этэ

Впервые — Накануне. 1923. 16 августа. С подписью: «М. Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Накануне».

День нашей жизни

— А вот угле-ей… углееееей!..

— Вот чертова глотка.

— …глей… глей!!

— Который час?

— Половина девятого, чтоб ему издохнуть.

— Это, значит, я с шести не сплю. Они навеки в отдушине поселились. Как шесть часов, отец семейства летит и орет как сумасшедший, а потом дети. Знаешь, что я придумала? Ты в них камнем швырни. Прицельсяхорошенько, и попадешь.

— Ну да. Прямо в студию, а потом за стекло два месяца служить.

— Да, пожалуй. Дрянные птицы. И почему в Москве такая масса ворон… Вон за границей голуби… В Италии…

— Голуби тоже сволочь порядочная. Ах, черт возьми! Погляди-ка…

— Боже мой! Не понимаю, как ты ухитряешься рвать?

— Да помилуй! При чем здесь я? Ведь он сверху донизу лопнул. Вот тебе твой ГУМ универсальный!

— Он такой же мой, как и твой. Сто миллионов носки на один день. Лучше бы я ромовой бабки купила. На зеленые.

— Ничего, я булавочкой заколю. Вот и незаметно. Осторожнее, ради Бога!..

— Ты знаешь, Сема говорит, что это не примус, а оптамус.

— Ну и что?

— Говорит, обязательно взорвет. Потому, что он шведский.

— Чепуху какую-то твой Сема говорит.

— Нет, не чепуху. Вчера в шестнадцатой квартире у комсомолки вся юбка обгорела. Бабы говорят, что это ее Бог наказал за то, что она в комсомол записалась.

— Бабы, конечно… они понимают…

— Нет, ты не смейся. Представь себе, только что она записалась, как — трах! — украли у нее новенькие лаковые туфли. Комсомолкина мамаша побежала к гадалке. Гадалка пошептала, пошептала и говорит: взяла их, говорит, женщина, небольшого росту, замужняя, на щеке у ей родинка…

— Постой, постой…

— Вот то-то ж. Ты слушай. То-то я удивляюсь, как ни прохожу, все комсомолкина мамаша на мою щеку смотрит. Наконец потеряла я терпение и спрашиваю: что это вы на меня смотрите, товарищ? А она отвечает: так-с. Ничего. Проходите, куда шли. Только довольно нам это странно. Образованная дама, а между тем родинка. Я засмеялась и говорю: ничего не понимаю! А она: ничего-с, ничего-с, проходите. Видали мы блондинок!

— Ах, дрянь!

— Да ты не сердись. Прилетает комсомолка и говорит мамаше: дура ты, у ей муж по двенадцатому разряду, друг воздушного флота, захочет, так он ее туфлями обсыпет всю. Видала чулки телесного цвета? И надоели вы мне, говорит, мамаша, с вашими гадалками и иконами! И собиралась иконы вынести. Я, говорит, их на воздушный флот пожертвую. Что тут с мамашей сделалось! Выскочила она и закатила скандал на весь двор. Я, кричит, не посмотрю, что она комсомолка, а прокляну ее до седьмого колена! А тебе, орет, желаю, чтоб ты с своего воздушного флота мордой об землю брякнулась!

Баб слетелось видимо-невидимо, и выходит наконец комендант и говорит: вы немного полегче, Анна Тимофеевна, а то за такие слова, знаете ли… Что касается вашей дочери, то она заслуживает полного уважения со стороны всего пролетариата нашего номера за борьбу с капиталом Маркса при помощи воздушного флота. А вы, Анна Тимофеевна, извините меня, но вы скандалистка, вам надо валерьянкины капли пить! А та как взбеленилась и коменданту: пей сам, если тебе самогонка надоела!

Ну, тут уж комендант рассвирепел: я, говорит, тебя, паршивая баба, в 24 часа выселю из дома, так что ты у меня как на аэроплане вылетишь, к свиньям! И ногами начал топать. Топал, топал, и вдруг прибегает Манька и кричит: Анна Тимофеевна, туфли нашлись!

Оказывается, никакая не блондинка, а это Сысоич, мамашин любовник, снес их самогонщице, а Манька…

— Да! Да! Войдите! В чем дело, товарищ?

— Деньги за энергию пожалуйте, тридцать пять лимонов.

— Однако! Пять, десять…

— Это что. В следующем месяце сто будет. МОГЭС по банкноту берет. Банкнот в гору. И коммунальная энергия за ним. До свиданьи-ус. Виноват-с. Вы к духовному сословию не принадлежите?

— Помилуйте! Кажется, видите… брюки…

— Хе-хе. Это я для порядку. Контора запрашивает для списков. Так я против вас напишу — трудящий элемент.

— Вот именно. Честь имею…

— Отцвели уж давно-о-о хризантемы в саду-у!

— Точить ножжжи-ножщщы!..

— Но любовь все живет в моем сердце больном!

— Брось ты ему пять лимонов, чтоб он заткнулся.

— А за ним шарманка ползет…

— Ну, я полетел… Опаздываю… Приду в пять или в восемь!..

— Молочка не потребуется?.. Дорогие братцы, сестрички, подайте калеке убогому… Клубника. Нобель замечательная… Булочки — свежие, французские… Папиросы «Красная звезда». Спички… Обратите внимание, граждане, на убожество мое!

— Извозчик! Свободен?

— Пожалте… Полтора рублика! Ваше сиятельство! Рублик! Господин! Я катал!! Семь гривен! Я даю! На резвой, ваше высокоблагородие! Куда ехать? Полтинник!

— Четвертак.

— Три гривенничка… Эх, ваше сиятельство, овес.

— Ты куда? Я т-тебе угол срежу!

— Вот оно, ваше превосходительство, житье извозчичье.

— Эх, держи его! Так его. Не сигай на ходу!

— Вор?

— Никак нет. В трамвай на скаку сиганул. На пятьдесят лимонов штрахуют.

— Здесь. Стой! Здравствуйте, Алексей Алексеич.

— Праскухин-то… слышали? Двадцать пять червонцев позавчера пристроил! Пристало отделение, а он расписался и, конечно, на бега. Вчера является к заведывающему пустой, как барабан. Тот ему говорит — даю вам шесть часов сроку, пополните. Ну, конечно, откуда он пополнит. Разве что сам напечатает. Ловят его теперь.

— Помилуйте, я его только что в трамвае видел. Едет с какими-то свертками и бутылками…

— Ну так что ж. К жене на дачу поехал отдыхать. Да вы не беспокойтесь. И на даче словят. И месяца не пройдет, как поймают.

— Allo… Да, я… Не готово еще. Хорошо… На отношение ваше за № 21 580 об организации при губотделе фонда взаимопомощи сообщаю, что ввиду того, что губкасса… Машинистки свободны?.. На заседании губпроса было обращено внимание цекпроса на то, запятая, написали?.. что изданное, перед «что» запятая, а не после «что», изданное Моно циркулярное распоряжение, направленное в Роно и Уоно и Губоно … а также утвержденное губсоцвосом … Allo! Нет, повесьте трубку…

— А я тут к вам поэта направил из провинции.

— Ну и свинство с вашей стороны… Вы, товарищ? Позвольте посмотреть…

Но если даже люди

Меня затопчут в грязь,

Я воскликну, смеясь…

Видите ли, товарищ, стихи хорошие, но журнал чисто школьный, народное образование… Право, не могу вам посоветовать… журналов много… Попробуйте… Переутомился я, и денег нет… Сколько, вы говорите, за мной авансу? Уй, юй, юй! Ну, чтоб округлить, дайте еще пятьсот… Триста? Ну, хорошо. Я сейчас поеду по делу, так вы рукописи секретарю передайте… Извозчик! Гривенник!..

— Подайте, барин, сироткам…

— Стой! Здравствуйте, Семен Николаевич!

— В кассе денег ни копейки.

— Позвольте… Что ж вы так сразу… Я ведь еще и не заикнулся…

— Да ведь вы сегодня уже пятый. Капитан, за капитаном, Юрий Самойлович, за Юрием Самойловичем…

— Знаю, знаю… А патриарх-то? А?

— Капитан поехал его интервьюировать…

— Это интересно… Кстати, о патриархе, сколько за мной авансу?.. Двести? Нет, триста… Извозчик! Двугривенный… Стой! Нет, граждане, ей-Богу, я только на минуту, по делу. И вечером у меня срочная работа… Ну, разве на минуту… Общее собрание у них… Ну, мы подождем и их захватим… Стой!

Во Францию два гренадера

Из русского плена брели!

Ого-го!.. А мы сейчас два столика сдвинем… Слушс… Раки получены… необыкновенные раки… Граждане, как вы насчет раков? А?.. Полдюжины… И трехгорного полдюжины… Или, лучше, чтоб вам не ходить — сразу дюжину!.. Господа! Мы уже условились… на минуту…

Иная на сердце забота!..

Позвольте… позвольте… что ж это он поет?..

В плену… полководец… в плену-у-у…

А! Это другое дело. Ваше здоровье. Братья писатели!.. Семь раз солянка по-московски!

И выйдет к тебе… полководец!

Из гроба твой ве-е-ерный солдат!!

Что это он все про полководцев?.. Великая французская… Раки-то, раки! В первый раз вижу…

Bis! Bis! Народу-то! Позвольте… что ж это такое? Да ведь это Праскухин! Где?! Вон в углу. С дамой сидит! Чудеса!.. Ну, значит, еще не поймали!.. Гражданин! Еще полдюжинки!

Вни-и-из по ма-а-а-тушке по Во-о-олге!..

Эх, гармония хороша! Еду на Волгу! Переутомился я! Билет бесплатный раздобуду, и только меня и видели, потому я устал!

По широкому-у раздолью!..

Батюшки! Выводят кого-то!

— Я не посмотрю, что ты герой труда!!! А… а!!

— Граждане, попрошу неприличными словами не выражаться…

— Граждане, а что, если нам красного «Напареули»?

А?.. Поехали! На минуту… Сюда! Стоп! Шашлык семь раз…

Был душой велик! Умер он от ран!..

…Да на трамвае же!.. Да на полчаса!.. Плюньте, завтра напишете!..

— Захватывающее зрелище! Борьба чемпиона мира с живым медведем… Bis!! Что за черт! Что он, неуловимый, что ли?! Вон он! В ложе сидит!.. Батюшки, половина первого! Извозчик! Извозчик!..

— Три рублика!..

— Очень хорошо. Очень.

— Миленькая! Клянусь, общее собрание. Понимаешь. Общее собрание, и никаких! Не мог!

— Я вижу, ты и сейчас не можешь на ногах стоять!

— Деточка. Ей-Богу. Что, бишь, я хотел сказать? Да. Праскухин-то, а? Понимаешь? Двадцать пять червонцев, и, понимаешь, в ложе сидит… Да бухгалтер же… Брюнет…

— Ложись ты лучше. Завтра поговорим.

— Это верно… Что, бишь, я хотел сделать? Да, лечь… Это правильно. Я ложусь… но только умоляю разбудить меня, разбудить меня, непременно, чтоб меня черт взял, в десять минут пятого… нет, пять десятого… Я начинаю новую жизнь… Завтра…

— Слышали. Спи.

Комментарии. В. И. Лосев

День нашей жизни

Впервые — Накануне. 1923. 2 сентября. С подписью: «Михаил Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Накануне».

Белобрысова книжка

3 числа

№ билета не забыть. 50.897.013. Кузину литературу и поехать в район…

…День-то, день… Да уж это день! День, братцы мои. Утром позвонили, в полдень телеграмма. Сон Шехерезады, товарищи! Оценили Белобрысова. Вспомнили! Шел к нему в кабинет и думаю — я или не я? Встал он, брючки подтянул, говорит — оправдайте доверие наше, товарищ Белобрысов, а равно и беспартийные массы в размере 150 миллионов. Стою — плачу, слезы градом, стою, ничего не понимаю, а в голове птица поет… чепуха… я помню день, ах, это было, я помню день, ах, это было…

Кругобанка директором!! Понимэ ву? Кругосветных операций банка директором. Эх, мама, покойница, не в смысле семейного быта и пережитков говорю, Боже сохрани, — в смысле того, что вот, старуха, родила Белобрысова сына республике. И сам не понимаю, что говорю. Поймите, что, может, сижу, как болван, здесь, а в это время на Малайских островах телеграмма: «Белобрысова Семена Кругобанка…» Эх, гори, сияй, моя звезда!..

Между листами расписка Моспочтамта:

Куда: Одесса.

Кому: Якову Белобрысову.

Слов: 16.

6 числа

Швейцар… К машине выходил… Говорю — сам я. Сам… Помилуйте, товарищ. Не понимаю, где делают такие стекла? 3 сажени. На-а… Да-а… 4 аппарата (6-89-05, не забыть) и какой-то с белыми цифрами. По 8-му повертел и пришел — честь имею рекомендоваться — заведующий отделом австралийских корреспондентов. Спрашиваю и сам не знаю, почему… я помню день… а, говорю, с Малайскими у нас как островами? Конечно, отвечает и сам улыбается. Кругосвет! Улыбка открытая и золотые зубы. Вот только одеты все! Все острые носы. Ногу поджимаю, потому что латка у меня и хром. Смешно, конечно… Мне, как марксисту, на латку плевать, но спрашиваю, где, мол, ботинки вы покупаете? Вместо ответа берет 6-89-05 (не забыть) и спрашивает: ваш номер позвольте узнать, товарищ директор? Я и бухнул — домсоветский! Коммутатор, говорю, 78-50-50, добавочный 102. Улыбнулся. № ботинок, говорит, Семен Яковлевич? Какой там номер! Получил, говорю, в райкоопе. Он в телефон: пришлите выбор — дюжину лак-замша, каблук рантованный, те, что я беру. Ошалел я, спрашиваю — простите, может быть, это неудобно? Улыбнулся. Помилуйте, говорит, Семен Яковлевич, вам по магазинам разве будет время ходить. От парового отопления веет, а в Севообороте в шубе сидел у окна. Эх!

…В сущности… нога, как в вате… Маркс нигде не утверждал, что на ногах нужно всякую сволочь носить…

Батюшки! Брат Яша с женой одесским семь пятнадцать приехал. Получил братуля телеграмму и прилетел. Радости было!.. Семь лет не видались. Остается в Москве. Я рад. Он у меня, братан, — молодец, по коммерческой части. Будет с кем посоветоваться. Эх, жаль, что беспартийный. Говорит, я сочувствую, но некоторое расхождение… Возмужал, глаза быстрые стали, как мышки, борода черная — веером. Жена красавица. Волосы, как золото. Хохоту было! Теснота у нас в доме. У меня две комнатушки — повернуться негде. А она-то! Манто котиковое… серьги бриллиантовые.

Немножко я даже смутился. Она шмыг, шмыг по коридору, быстрая, в серьгах, а у нас бирюки ответственные… косятся… Пустяки. Они беспартийные…

Между листами.

Ч Е Р Н О В И К Т Е Л Е Г Р А М М Ы.

Одесса юрисконсульту Югокофе.

Прошу изыскание векселям Якова Белобрысова приостановить семь дней.

Диркругбанка Белобрысов…

…Хохотал. Да они, говорит, на карачках, чудак ты, поползут. Да я им, говорит, сукиным сынам, теперь загну салазки. Они мне петлю на шею накинули! Американец у меня братуха оказался единоутробный, а я и не знал.

9 числа

Боже мой! Что было! Ай да братуха американ! Два раза был монтер домовый и со станции… Оборвали телефон!

Между листами.

В Ы Р Е З К А И З Г А З Е Т Ы «И З В Е С Т И Я».

Срочно требуется квартира не далее кольца «А», 6–8 комнат, ванной, удобствами. Платой не стесняюсь. Вношу единовременно 1000 (тысяча) червонцев… Указавшему сто. Звонить круглые сутки 78-50-50 добав. 102. Як. Бело-ову. Лично, от 10 час. утра до 12 часов ночи.

…Что ж он делает?! Предлагали борзых собак. Спрашиваю, зачем марксисту борзые собаки? Страусовые перья, дачу в Малаховке, обнаженную венецианку в ванне! К концу дня осатанел… На лестнице стояли! Скандал! Журил братишку. Оттуда звонили? Ого! Яша хохотал: при чем тут ты? «Як» ведь. На мое имя! Наши ответственные, как туча…

14 числа

Господи! Муни-то, Руни-то! Квартир, говорили, нету. Вот тебе и нету. Ничего подобного не видал — в центре жилая площадь с лепными потолками…

15 числа

Черт его знает… Боюсь… Да понимает же он?.. Братун-то!

Между листами.

На машинке обрывок: О выдаче ссуды в размере 10.000 (десяти тысяч) рублей золотом кооптовариществу «Домострой» в составе Капустина, Гопцера, Дрицера и Як. Белобрысова…

…Целовала, целовала, называла фрэр!.. Кричала — Яша не ревнив… Отвернись! Яша на тахте, играл на гитаре — что мне до шумного света, что нам друзья и враги! Да, он прав в конце концов. Если мне не отдыхать, с ума сойдешь.

…Машину к 11-ти. Яша говорит, что на такой машине только свистунам ездить. Рол-Ройс, говорит, приличная. Ну, эта пока…

17 числа

Яша на главного бухгалтера при публике в вестибюле наорал. 40-50-60. Франко — Гамбург.

В книге выдрано 15 листов.

…числа

Не согласна. Только в церкви… Венчались тайком. Голова моя идет кругом! Невеста была в белом платье, жених был весь в черных штанах! Шампанское… Боже… В соседней комнате она сейчас переодевается… Из главного зала перешли в половину второго в кабинеты. Цыгане пели. Что Яша-братусик учинил — уму непостижимо! Да плевать я, говорит, хотел! 50 червонцев швапкнул за зеркало! Да если, говорит, завтра у меня пройдет Иваново-Вознесенская благополучно, да я, говорит, этого метрдотеля в «Дюрсе» утоплю!!

Две гитары за стеной … Переодевается она теперь, ноги-то… Яша на столе плясал фокстрот… снял с жены махры Востока юбки… Это ужас!.. Две гитары… две гитары…

…За стеной переодевается…

1 числа

60-05-50. По счету, если Яша не вывернет Иваново-Вознесенска, не знаю, как быть. 60-08-80-11-15, 16-15-14. Две гитары…

…Хожу как в бреду… Две гитары… Яша сказал, что ты, говорит, ее должен, как королеву, одевать. Постыдился бы мне, марксисту, такие слова… Ей, говорит, кольцо… Сам ездил на Кузнецкий, купил… 3 карата. Все оглядываются. Ну, не знаю, что будет!

2 числа

Сукин сын Яшка, лопнул с Иваново-Вознесенском.

4 числа

Звонил гробовым голосом. Спросил про слухи. С Яшкой был разговор в упор… Две гитары… Не спал всю ночь…

7 числа

Просили прибыть… в районе доклад важный «„Штурм унд Дранг" в условиях нэпа». В-важность! У меня тут свой Дранг — голова идет кругом!

…Б-боже. Насело Югокофе как банный лист. Я эту мразь, текущего заведующего, убил бы на месте! Позвать его!!

9 числа

Исусе Христе! Яшка-гадость пал в ноги и признался — «Домострой» лопнул! Чисто!.. Угрожал застрелиться и выл. Содом — Гоморра! Две гитары… Содом!

12 числа

Срочно менять на черной. Гопцер-Дрицер пропал.

13 числа

Взяли ночью. Взяли в 2 1/2 часа пополуночи.

Выдрано 3 листа.,

…числа

…ах ты, жизнь моя, жизнь… Сегодня у следователя не выдержал, сказал Яшке — ты не брат, а подколодная стерва! Яшка: бей, говорит, бей меня!.. Ползал по полу, даже следователь удивлялся, змее…

…Принимая во внимание мое происхождение, могут меня так шандарахнуть…

…Гори, моя звезда!.. Я помню день… Лучше б я… Эх… И ночь… Луна… И на штыке у часового горит полночная луна.

Комментарии. В. И. Лосев

Белобрысова книжка

Впервые — Накануне. 1924. 26 марта. С подписью: «Михаил Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Накануне».

Просвещение с кровопролитием

Посвящается заведующему жел. — дор.

школой ст. Агрыз Моск. — Каз.

Вводить просвещение, но по возможности без кровопролития!

М. Е. Салтыков-Щедрин

Чьи-то сапоги с громом покатились по лестнице, и уборщица школы Фетинья не убереглась, божья старушка! Выскочила Ванькина голова с лестницы и ударила божью старушку сзади. Села старушка наземь, и хлынула из ведер вода.

— Чтоб ты околел! — захныкала старушка. — Что ты, взбесился, окаянный?!

— Взбесишься тут, — задыхаясь, ответил Ванька, — еле убег! Вставай, старушка…

— Что, аль сам?

— Чай, слышишь?

Из школы несся рев, как будто взбунтовался тигр:

— Дайте мне сюда эту каналью!!! Подать его мне, и я его зарежу, как цыпленка!!! А-а!!

— Тебя?

— Угу, — ответил Ванька, вытирая пот, — с доски не стер во втором классе.

— Подать мне Ваньку-сторожа живого или мертвого!! — гремело школьное здание. — Я из него сделаю бифштекс!!

— Ванька! Ванька!! Ванька!! К заведующему!! — вопили ученические голоса.

— Черта пухлого я пойду! — хрипнул Ванька и стрельнул через двор. Во мгновение ока он вознесся по лестнице на сеновал и исчез в слуховом окне.

Здание на мгновение стихло, но потом громовой хищный бас взвыл вновь:

— Подать мне учителя географии!! И-и!!

— Г-и! Ги-ги!! — загремело эхо в здании.

— Географ засыпался… — восхищенно пискнул дискант в коридоре.

Учитель географии, бледный как смерть, ворвался в физико-географический кабинет и застыл.

— Эт-та шта так-кое? — спросил его заведующий таким голосом, что у несчастного исследователя земного шара подкосились ноги.

— Карта ресефесерефесефесе… — ответил географ прыгающими губами.

— М-молчать!! — взревел заведующий и заплясал, топая ногами. — Молчать, когда с вами начальство разговаривает!.. Это карта?.. Это карта, я вас спрашиваю?! Поч-чему она не на мольберте?! Почему Волга на ней какая-то кривая?! Почему Ленинград не Петроград?! На каком основании Черное море — голубое?! Почему у вас вчера змея издохла?! Кто, я вас спрашиваю, налил чернил в аквариум!

— Это ученик Фисухин, — предал Фисухина мертвый преподаватель, — он змею валерьяновыми каплями напоил.

Стекла в окнах дрогнули от рева.

— А-га-га! Фисухин! Дать мне Фисухина, и я его четвертую!!

— Фису-у-у-хин!! — стонало здание.

— Братцы, не выдавайте, — плакал Фисухин, сидя одетым в уборной, — братцы, не выйду, хоть дверь ломайте…

— Выходи, Фисуха! Что ж делать… Вылезай! Лучше ты один погибнешь, чем мы все, — молили его ученики.

— Здесь?!! — загремело возле уборной.

— Тут, — застонали ученики, — забронировался.

— А! А!.. Забронировался… Ломай!.. Двери!! Дать мне сюда багры!! Позвать дворников!! Вынуть Фисухина из уборной!!!

Страшные удары топоров посыпались в здании градом, и в ответ им взвился тонкий вопль Фисухина.

Комментарии. В. И. Лосев

Просвещение с кровопролитием

Впервые — Гудок. 1924. 29 марта. С подписью: «М. Ол-Райт».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Площадь на колесах

21 ноября.

Ну и город Москва, я вам доложу. Квартир нет. Нету, горе мое! Жене дал телеграмму — пущай пока повременит, не выезжает. У Карабуева три ночи ночевал в ванне. Удобно, только капает. И две ночи у Щуевского на газовой плите. Говорили в Елабуге у нас — удобная штука, какой черт! — винтики какие-то впиваются, и кухарка недовольна.

23 ноября.

Сил никаких моих нету. Наменял на штрафы мелочи и поехал на «А», шесть кругов проездил — кондукторша пристала: «Куды вы, гражданин, едете?» — «К чертовой матери, — говорю, — еду».

В самом деле, куды еду? Никуды. В половину первого в парк поехали. В парке и ночевал. Холодина.

24 ноября.

Бутерброды с собой взял, поехал. В трамвае тепло — надышали. Закусывал с кондукторами на Арбате. Сочувствовали.

27 ноября.

Пристал как банный лист — почему с примусом в трамвае? Параграфа, говорю, такого нету. Чтобы не петь, есть параграф, я и не пою. Напоил его чаем — отцепился.

2 декабря.

Пятеро нас ночует. Симпатичные. Одеяла расстелили — как в первом классе.

7 декабря.

Пурцман с семейством устроился. Завесили одну половину — дамское — некурящее. Рамы все замазали. Электричество — не платить. Утром так и сделали: как кондукторша пришла — купили у нее всю книжку. Сперва ошалела от ужаса, потом ничего. И ездим. Кондукторша на остановках кричит: «Местов нету!» Контролер влез — ужаснулся. Говорю, извините, никакого правонарушения нету. Заплочено — и ездим. Завтракал с нами у храма Спасителя, кофе пили на Арбате, а потом поехали к Страстному монастырю.

8 декабря.

Жена приехала с детишками. Пурцман отделился в 27-й номер. Мне, говорит, это направление больше нравится. Он на широкую ногу устроился. Ковры постелил, картины известных художников. Мы попроще. Одну печку поставил вагоновожатому — симпатичный парнишка попался, как родной в семье. Петю учит править. Другую в вагоне, третью кондукторше — симпатичная — свой человек — на задней площадке. Плиту поставил. Ездим, дай Бог каждому такую квартиру!

11 декабря.

Батюшки! Пример-то что значит. Приезжаем сегодня к Пушкину, выглянул я на площадку — умываться, смотрю — в 6-м номере с Тверской поворачивает Щуевский!.. Его, оказывается, уплотнили с квартирой, то он и кричит — наплевать. И переехал. Ему в 6-м номере удобно. Служба на Мясницкой.

12 декабря.

Что в Москве делается, уму непостижимо. На трамвайных остановках — вой стоит. Сегодня, как ехали к Чистым прудам, читал в газете про себя — называют — гениальный человек. Уборную устроили. Просто, а хорошо, в полу дыру провертели. Да и без уборной великолепно. Хочешь — на Арбате, хочешь — у Страстного.

20 декабря.

Елку будем устраивать. Тесновато нам стало. Целюсь переехать в 4-й номер двойной. Да, нету квартир. В американских газетах мой портрет помещен.

21 декабря.

Все к черту! Вот тебе и елка! Центральная жилищная комиссия явилась. Ахнули. А мы-то, говорят, всю Москву изрыли, искали жилищную площадь. А она тут…

Всех выпирают. Учреждения всаживают. Дали 3-дневный срок. В моем вагоне участок милиции поместится. К Пурцману школа I ступени имени Луначарского.

23 декабря.

Уезжаю обратно в Елабугу…

М. Ол-Райт.

Комментарии. В. И. Лосев

Площадь на колесах

Впервые — Заноза. 1924. № 9. С подписью: «М. Ол-Райт». Затем в: Смехач. 1926. № 15 (Юмористическая иллюстрированная библиотека).

Печатается по тексту издания 1926 г.

Говорящая собака

У всякого своя манера культработы.

Русская пословица

С поездами всегда так бывает: едет, едет и заедет в такую глушь, где ни черта нет, кроме лесов и культработников.

Один из таких поездов заскочил на некую ст. Мурманской ж. д. и выплюнул некоего человека. Человек пробыл на станции ровно столько, сколько и поезд, — 3 минуты, и отбыл, но последствия его визита были неисчислимы. Человек успел метнуться по станции и наляпать две афиши: одну на рыжей стене возле колокола, а другую на двери кислого здания с вывеской;

КЛУБ ЖЕ-ДЕ

Афиши вызвали на станции вавилонское столпотворение. Люди лезли даже на плечи друг к другу.

Остановись, прохожий!! Спешите видеть! —

Только один раз и затем уезжают в Париж!

С дозволения начальства.

Знаменитый ковбой и факир

ДЖОН ПИРС

со своими мировыми аттракционами, как то:

исполнит танец с кипящим самоваром на голове,

босой пройдет по битому стеклу и ляжет в него лицом.

Кроме того, по желанию уважаемой публики

будет съеден живой человек и другие сеансы чревовещания.

В заключение будет показана

ясновидящая говорящая собака

или чудо XX века

С почтением Джон Пирс — белый маг.

Верно:

Председатель правления клуба

* * *

Через три дня клуб, вмещавший обыкновенно 8 человек, вместил их 400, из которых 350 не были членами клуба.

Приехали даже окрестные мужики, и их клиновидные бороды смотрели с галерки. Клуб гудел, смеялся, гул летал в нем сверху вниз. Как птичка, порхнул слух о том, что будет съеден живой председатель месткома.

Телеграфист Вася поместился за пианино, и под звуки «Тоски по родине» перед публикой предстал ковбой и маг Джон Пирс.

Джон Пирс оказался щуплым человеком в телесном трико с блестками. Он вышел на сцену и послал публике воздушный поцелуй. Публика отвечала ему аплодисментами и воплями:

— Времячко!

Джон Пирс отпрянул назад, улыбнулся, и тотчас румяная свояченица председателя правления клуба вынесла на сцену кипящий пузатый самовар. Председатель в первом ряду побагровел от гордости.

— Ваш самовар, Федосей Петрович? — зашептала восхищенная публика.

— Мой, — ответил Федосей.

Джон Пирс взял самовар за ручки, водрузил его на поднос, а затем все сооружение поставил себе на голову.

— Маэстро, попрошу матчиш, — сказал он сдавленным голосом.

Маэстро Вася нажал педаль, и матчиш запрыгал по клавишам разбитого пианино.

Джон Пирс, вскидывая худые ноги, заплясал по сцене. Лицо его побагровело от напряжения. Самовар громыхал на подносе ножками и плевался.

— Бис! — гремел восхищенный клуб.

Затем Пирс показал дальнейшие чудеса. Разувшись, он ходил по битому станционному стеклу и ложился на него лицом. Потом был антракт.

* * *

— Ешь живого человека! — взвыл театр.

Пирс приложил руку к сердцу и пригласил:

— Прошу желающего.

Театр замер.

— Петя, выходи, — предложил чей-то голос в боковой ложе.

— Какой умный, — ответили оттуда же, — выходи сам.

— Так нет желающих? — спросил Пирс, улыбаясь кровожадной улыбкой.

— Деньги обратно! — бухнул чей-то голос с галерки.

— За неимением желающего быть съеденным номер отменяется, — объявил Пирс.

— Собаку даешь! — гремели в партере.

* * *

Ясновидящая собака оказалась на вид самым невзрачным псом из породы дворняг. Джон Пирс остановился перед ней и опять молвил:

— Желающих разговаривать с собакой прошу на сцену.

Клубный председатель, тяжело дыша выпитым пивом, поднялся на сцену и остановился возле пса.

— Попрошу задавать вопросы.

Председатель подумал, побледнел и спросил в гробовой тишине:

— Который час, собачка?

— Без четверти девять, — ответил пес, высунув язык.

— С нами крестная сила, — взвыл кто-то на галерке.

Мужики, крестясь и давя друг друга, мгновенно очистили галерку и уехали домой.

— Слушай, — сказал председатель Джону Пирсу, — вот что, милый человек, говори, сколько стоит пес?

— Этот пес непродажный, помилуйте, товарищ, — ответил Пирс, — это собачка ученая, ясновидящая.

— Хочешь два червонца? — сказал, распаляясь, председатель.

Джон Пирс отказался.

— Три, — сказал председатель и полез в карман.

Джон Пирс колебался.

— Собачка, желаешь идти ко мне в услужение? — спросил председатель.

— Желаем, — ответил пес и кашлянул.

— Пять! — рявкнул председатель.

Джон Пирс охнул и сказал:

— Ну, берите.

* * *

Джона Пирса, напоенного пивом, увез очередной поезд. Он же увез и пять председательских червонцев.

На следующий вечер клуб опять вместил триста человек.

Пес стоял на эстраде и улыбался задумчивой улыбкой.

Председатель стал перед ним и спросил:

— Ну, как тебе у нас понравилось на Мурманской жел. дороге, дорогой Милорд?

Но Милорд остался совершенно безмолвным.

Председатель побледнел.

— Что с тобой, — спросил он, — ты что, онемел, что ли?

Но пес и на это не пожелал ответить.

— Он с дураками не разговаривает, — сказал злорадный голос па галерке. И все загрохотали.

* * *

Ровно через неделю поезд вытряхнул на станцию человека. Человек этот не расклеивал никаких афиш, а зажав под мышкою портфель, прямо направился в клуб и спросил председателя правления.

— Это у вас тут говорящая собака? — спросил владелец портфеля у председателя клуба.

— У нас, — ответил председатель, багровея, — только она оказалась фальшивая собака. Ничего не говорит. Это жулик у нас был. Он за нее животом говорил. Пропали мои деньги…

— Так-с, — задумчиво сказал портфель, — а я вам тут бумажку привез, товарищ, что вы увольняетесь из заведующих клубом.

— За что?! — ахнул ошеломленный председатель.

— А вот за то, что вы вместо того, чтобы заниматься культработой, балаган устраиваете в клубе.

Председатель поник головой и взял бумагу.

М. Ол-Райт.

Комментарии. В. И. Лосев

Говорящая собака

Впервые — Гудок. 1924. 16 мая. С подписью: «М. Ол-Райт».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Приключения покойника

— Кашляните, — сказал врач 6-го участка М.-К.-В. ж. д.

Больной исполнил эту нехитрую просьбу.

— Не в глаза, дядя! Вы мне все глаза заплевали. Дыхайте.

Больной задышал, и доктору показалось, что в амбулатории заиграл граммофон.

— Ого! — воскликнул доктор. — Здорово! Температура как?

— Градусов семьдесят, — ответил больной, кашляя доктору на халат.

— Ну, семьдесят не бывает, — задумался доктор, — вот что, друг, у вас ничего особенного — скоротечная чахотка.

— Ишь как! Стало быть, помру?

— Все помрем, — уклончиво отозвался медик. — Вот что, ангелок, напишу я вам записочку, и поедете в Москву на специальный рентгеновский снимок.

— Помогает?

— Как сказать, — отозвался служитель медицины, — некоторым очень. Да со снимком как-то приятнее.

— Это верно, — согласился больной, — помирать будешь, на снимок поглядишь — утешение! Вдова потом снимок повесит в гостиной, будет гостей занимать: «А вот, мол, снимок моего покойного железнодорожника, царство ему небесное». И гостям приятно.

— Вот и прекрасно, что вы присутствие духа не теряете. Берите записочку, топайте к начальнику Зерново-Кочубеевской топливной ветви. Он вам билетик выпишет до Москвы.

— Покорнейше благодарю.

Больной на прощанье наплевал полную плевательницу и затопал к начальнику. Но до начальника он не дотопал, потому что дорогу ему преградил секретарь.

— Вам чего?

— Скоротечная у меня.

— Тю! Чудак! Ты что ж думаешь, что у начальника санатория в кабинете? Ты, дорогуша, топай к доктору.

— Был. Вот и записка от доктора на билет.

— Билет тебе не полагается.

— А как же снимок? Ты, что ль, будешь делать?

— Я тебе не фотограф. Да ты не кашляй мне на бумаги…

— Без снимка, доктор говорит, непорядок.

— Ну так и быть, ползи к начальнику.

— Драсте… Кхе… кх! А кха, кха!

— Кашляй в кулак. Чего? Билет? Не полагается. Ты прослужил только два месяца. Потерпи еще месяц.

— Без снимка помру.

— Пойди на бульвар да снимись.

— Не такой снимок. Вот горе в чем.

— Пойди, потолкуй с бухгалтером.

— Здрассте.

— Стань от меня подальше. Чего?

— Билет. За снимком.

— Голова с ухом! У меня касса, что ль? Сыпь к секретарю.

— Здра… Тьфу. Кха. Рррр!..

— Ты ж был у меня уже. Мало оплевал? Иди к начальнику.

— Здравия жела… Кха… хр…

— Да ты что, смеешься? Курьер, оботри мне штаны. Катись к доктору!

— Драсти… Не дают!

— Что ж я сделаю, голубчик? Идите к начальнику.

— Не пойду, помру… Урр…

— А я вам капель дам. На пол не падай. Санитар, подними его.

ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

— С нами крестная сила! Ты ж помер?!

— То-то и оно.

— Так чего ты ко мне припер? Ты иди, царство тебе небесное, прямо на кладбище!

— Без снимка нельзя.

— Экая оказия! Стань подальше, а то дух от тебя тяжелый.

— Дух обыкновенный. Жарко, главное.

— Ты б пива выпил.

— Не подают покойникам.

— Ну, зайди к начальнику.

— Здрав…

— Курьеры! Спасите! Голубчики, родненькие!!!

— Куда ты с гробом в кабинет лезешь, труп окаянный?!

— Говори, говори скорей! Только не гляди ты на меня, ради Христа.

— Билетик бы в Москву… за снимком…

— Выписать ему! Выписать! Мягкое в международном. Только чтоб убрался с глаз моих, а то у меня разрыв сердца будет.

— Как же писать?

— Пишите: от станции Зерново до Москвы скелету такому-то.

— А гроб как же?

— Гроб в багажный!

— Готово, получай.

— Покорнейше благодарим. Позвольте руку пожать.

— Нет уж, рукопожатия отменяются!

— Иди, голубчик, умоляю тебя, иди скорей! Курьер, проводи товарища покойника!

Комментарии. В. И. Лосев

Приключения покойника

Впервые — Гудок. 1924. 27 июня. С подписью: «М. Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Главполитбогослужение

Конотопский уисполком по договору 23 июля 1922 г. с общиной верующих при ст. Бахмач передал последней в бессрочное пользование богослужебное здание, выстроенное на полосе железнодорожного отчуждения и пристроенное к принадлежащему Зап. ж. д. зданию, в коем помещается жел. — дорожная школа.

…Окна церкви выходят в школу.

Из судебной переписки

Отец дьякон бахмачской церкви, выходящей окнами в школу, в конце концов не вытерпел и надрызгался с самого утра в день Параскевы Пятницы и, пьяный как зонтик, прибыл к исполнению служебных обязанностей в алтарь.

— Отец дьякон! — ахнул настоятель, — ведь это же что такое?.. Да вы гляньте на себя в зеркало: вы сами на себя не похожи!

— Не могу больше, отец настоятель! — взвыл отец дьякон, — замучили, окаянные. Ведь это никаких нервов не х-хва… хва… хватит. Какое тут богослужение, когда рядом в голову зудят эту грамоту.

Дьякон зарыдал, и крупные, как горох, слезы поползли по его носу.

— Верите ли, вчера за всенощной разворачиваю требник, а перед глазами огненными буквами выскакивает: «Религия есть опиум для народа». Тьфу! Дьявольское наваждение. Ведь это ж… ик… до чего доходит? И сам не заметишь, как в ком… ком… мун… нистическую партию уверуешь. Был

дьякон, и ау, нету дьякона! Где, спросят добрые люди, наш милый дьякон? А он, дьякон… он в аду… в гигиене огненной.

— В геенне, — поправил отец настоятель.

— Один черт, — отчаянно молвил отец дьякон, криво влезая в стихарь, — одолел меня бес!

— Много вы пьете, — осторожно намекнул отец настоятель, — оттого вам и мерещится.

— А это мерещится? — злобно вопросил отец дьякон.

— Владыкой мира будет труд!! — донеслось через открытые окна соседнего помещения.

— Эх, — вздохнул дьякон, завесу раздвинул и пророкотал: — Благослови, владыка!

— Пролетарию нечего терять, кроме его оков!

— Всегда, ныне и присно и во веки веков, — подтвердил отец настоятель, осеняя себя крестным знамением.

— Аминь! — согласился хор.

Урок политграмоты кончился мощным пением «Интернационала» и ектений:

— Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…

— Мир всем! — благодушно пропел настоятель.

— Замучили, долгогривые, — захныкал учитель политграмоты, уступая место учителю родного языка, — я — слово, а они — десять!

— Я их перешибу, — похвастался учитель языка и приказал:

— Читай, Клюкин, басню.

Клюкин вышел, одернул пояс и прочитал:

Попрыгунья стрекоза

Лето красное пропела,

Оглянуться не успела…

— Яко Спаса родила!! — грянул хор в церкви.

В ответ грохнул весь класс и прыснули прихожане.

Первый ученик Клюкин заплакал в классе, а в алтаре заплакал отец настоятель.

— Ну их в болото, — ошеломленно хихикая, молвил учитель, — довольно, Клюкин, садись, пять с плюсом.

Отец настоятель вышел на амвон и опечалил прихожан сообщением:

— Отец дьякон заболел внезапно и… того… богослужить не может.

Скоропостижно заболевший отец дьякон лежал в приделе алтаря и бормотал в бреду:

— Благочестив… самодержавнейшему государю наше… Замучили, проклятые!..

— Тиш-ша вы, — шипел отец настоятель, — услышит кто-нибудь, беда будет…

— Плевать… — бормотал дьякон, — мне нечего терять… ик… кроме оков.

— Аминь! — спел хор.

* * *

Примечание «Гудка»: В редакции получен материал, показывающий, что дело о совместном пребывании школы и церкви в одном здании тянется уже два года. Просьба всем соответствующим учреждениям сообщить, когда же кончится это невозможное сожительство?

М. Б.

Комментарии. В. И. Лосев

Главполитбогослужение

Впервые — Гудок. 1924. 24 июля. С подписью: «М. Б.».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Ранее фельетон ошибочно приписывался Валентину Катаеву (см. сборник его рассказов и фельетонов «Горох в стенку». М., 1963). Позже сам Катаев признался, что это не его сочинение.

Брачная катастрофа

Следующие договоры признаются обеими сто-

ронами, как потерявшие силу: 1) договор: бра-

косочетание Е. К. В. герцога Эдинбургского.

С.-Петербург, 22 января 1874 г.

(Выдержка из англо-советского договора)

Новость произвела впечатление разорвавшейся бомбы.

I

Через три дня по опубликовании в газете «Руль» появилось сообщение:

«Нам сообщают из Москвы, что расторжение договора о браке его королевского высочества вызвало грандиозное возмущение среди московских рабочих и в особенности транспортников. Последние всецело на стороне симпатичного молодожена. Они проклинают Раковского, лишившего герцога Эдинбургского возможности продолжать нести сладкие цепи Гименея, возложенные на его высочество в г. С.-Петербурге 50 лет тому назад. По слухам, в Москве произошли беспорядки, во время которых убито 7000 человек, в том числе редактор газеты „Гудок" и фельетонист, автор фельетона „Брачная катастрофа", напечатанного в № 1277 „Гудка"».

II

Письмо, адресованное Понсонби:

«Свинья ты, а не Понсонби!

Какого же черта лишил ты меня супруги? Со стороны Раковского это понятно — он большевик, а большевика хлебом не корми, только дай ему возможность устроить какую-нибудь гадость герцогу. Но ты?!

Вызываю тебя на дуэль.

Любящий герцог Эдинбургский».

III

Разговор в спальне герцога Эдинбургского:

С у п р у г а. А, наконец-то ты вернулся, цыпочка. Иди сюда, я тебя поцелую, помпончик.

Г е р ц о г (крайне расстроен). Уйди с глаз моих.

С у п р у г а. Герцог, опомнитесь! С кем вы говорите? Боже, от кого я слышу эти грубые слова? От своего мужа…

Г е р ц о г. Фигу ты имеешь, а не мужа…

С у п р у г а. Как?!

Г е р ц о г. А вот так. (Показывает ей договор.)

С у п р у г а. Ах! (Падает в обморок.)

Г е р ц о г (звонит лакею). Убрать ее с ковра.

(Занавес.)

Эм.

Комментарии. В. И. Лосев

Брачная катастрофа

Впервые — Гудок. 1924. 23 августа. С подписью: «Эм.».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Рассказ написан по следам советско-английского договора (общего и торгового), подписанного 8 августа 1924 г.

Следует отметить, что Булгаков внимательнейшим образом следил за развитием международных отношений, и советско-английский договор (и переговоры, происходившие до этого) вызвал у него живой интерес. Вот некоторые записи в его дневнике. 6 августа: «Сегодня в газетах сообщение о том, что англо-советская конференция лопнула. Сообщение написано в сухих официальных словах: „…разрыв произошел на вопросе об удовлетворении претензий бывших частных собственников"… „так как выяснилось, что по вопросу о бывших крупных собственниках соглашения достигнуть невозможно, конференция была объявлена закрытой".

Finita, как говорится, la comedia. Интересно было бы знать, сколько времени „Союз социалистич. республик" просуществует в таком положении».

16 августа: «Оказывается, в эти дни Раковский… <обрыв текста>… но последние сообщения показывают, что в Англии началась сильная кампания против такого договора и, возможно, что его не ратифицирует парламент.

Сообщение о договоре явилось неожиданным — телеграфировали о разрыве, а потом — сообщение о подписании.

В Англии пишут то, что должно бы выходить по здравому английскому смыслу — нельзя же дать большевикам деньги, когда эти большевики только и мечтают, что о разрушении Англии! Резон.

Доиграются англичане!

Подписали договор Понсонби и Макдональд.

…каламбур — понсонбие (пособие). Каламбур неизвестно чей.

Понсонби — пособи».

23 августа: «Консервативная английская печать ведет энергичную кампанию против англо-советского договора, и есть основание полагать, что парламент…» <обрыв текста>.

Из этих записей совершенно ясно видно настроение писателя: Булгаков, конечно, был против этого договора, укреплявшего позиции советской власти, у которой он был «под пятой».

Игра природы

А у нас есть железнодорожник с фамилией Врангель…

Из письма рабкора

Дверь, ведущую в местком станции М., отворил рослый человек с усами, завинченными в штопор. Военная выправка выпирала из человека.

Предместком, сидящий за столом, окинул вошедшего взором и подумал: «Экий бравый»…

— А вам чего, товарищ? — спросил он.

— В союз желаю записаться, — ответил визитер.

— Тэк-с… А вы где работаете?

— Да я только что приехал, — пояснил гость, — весовщиком сюды назначили.

— Тэк-с. Ваша как фамилия, товарищ?

Лицо гостя немного потемнело.

— Да фамилия, конечно… — заговорил он, — фамилия у меня… Врангель.

Наступило молчание. Предместком уставился на посетителя, о чем-то подумал и вдруг машинально ощупал документы в левом кармане пиджака.

— А имя и, извините, отчество? — спросил странным голосом.

Вошедший горько и глубоко вздохнул и вымолвил:

— Да, имя… ну, что имя, ну, Петр Николаевич.

Предместком привстал с кресла, потом сел, потом опять привстал, глянул в окно, с окна на портрет Троцкого, с Троцкого на Врангеля, с Врангеля на дверной ключ, с ключа косо на телефон. Потом вытер пот и спросил сипло:

— А скудова же вы приехали?

Пришелец вздохнул так густо, что в предместкоме шевельнулись волосы, и молвил:

— Да вы не думайте… Ну, из Крыма…

Словно пружина развернулась в предместкоме.

Он вскочил из-за стола и мгновенно исчез.

— Так я и знал! — кисло сказал гость и тяжко сел на стул.

Со звоном хлопнул ключ в дверях. Предместком, с глазами, сияющими как звезды, летел через зал 3-го класса, потом через 1-й класс и прямо к заветной двери. На лице у предместкома играли краски. По дороге он вертел руками и глазами, наткнулся на кого-то в форменной куртке и ему взвыл шепотом:

— Беги, беги в месткоме дверь покарауль! Чтоб не убег!..

— Кто?!

— Врангель!..

— Сдурел!

Предместком ухватил носильщика за фартук и прошипел:

— Беги скорей, дверь покарауль!..

— Которую?!

— Дурында… Награду получишь!..

Носильщик выпучил глаза и стрельнул куда-то вбок… За ним — второй.

Через три минуты у двери месткома бушевала густая толпа. В толпу клином врезался предместком, потный и бледный, а за ним двое в фуражках с красным верхом и синеватыми околышами. Они бодро пробирались в толпе, и первый звонко покрикивал:

— Ничего интересного, граждане! Попрошу вас очистить помещение!.. Вам куда? В Киев? Второй звонок был. Попрошу очистить…

— Кого поймали, родные?

— Кого надо, того и поймали, попрошу пропустить…

— Деникина словил месткомщик!..

— Дурында, это Савинков убег… А его залопали у нас!

— Я обнаружил его по усам, — бормотал предместком человеку в фуражке, — глянул… Думаю, батюшки — он!

Двери открылись, толпа полезла друг на друга, и в щели мелькнул пришелец…

Глянув на входящих, он горько вздохнул, кисло ухмыльнулся и уронил шапку.

— Двери закрыть!.. Ваша фамилия?

— Да Врангель же… да я ж говорю…

— Ага!

Форменные фуражки мгновенно овладели телефоном.

Через пять минут перед дверьми было чисто от публики и по очистившемуся пространству проследовал кортеж из семи фуражек. В середине шел, возведя глаза к небу, пришелец и бормотал:

— Вот, Твоя воля… замучился… В Херсоне водили… в Киеве водили… Вот горе-то… В Совнарком подам, пусть хоть какое хочут название дадут…

— Я обнаружил, — бормотал предместком в хвосте, — батюшки, думаю, усы! Ну, у нас это, разумеется, быстро, по-военному: р-раз — и на ключ. Усы — самое главное…

* * *

Ровно через три дня дверь в тот же местком открылась и вошел тот же бравый. Физиономия у него была мрачная.

Предместком встал и вытаращил глаза.

— Э… вы?

— Я, — мрачно ответил вошедший и затем молча ткнул бумагу.

Предместком прочитал ее, покраснел и заявил:

— Кто ж его знал… — забормотал он… — гм… да, игра природы… Главное, усы у вас, и Петр Николаевич…

Вошедший мрачно молчал…

— Ну что ж… Стало быть, препятствий не встречается… Да… Зачислим… Да, вот, усы сбили меня…

Вошедший злобно молчал.

* * *

Еще через неделю подвыпивший весовщик Карасев подошел к мрачному Врангелю с целью пошутить.

— Здравия желаю, ваше превосходительство, — заговорил он, взяв под козырек и подмигнув окружающим, — ну, как изволите поживать? Каково показалось вам при власти Советов и вообще у нас в Ресефесере?

— Отойди от меня, — мрачно сказал Врангель.

— Сердитый вы, господин генерал, — продолжал Карасев, — у-у, сердитый. Боюсь, как бы ты меня не расстрелял. У него это просто, взял пролетария…

Врангель размахнулся и ударил Карасева в зубы так, что с того соскочила фуражка.

Кругом засмеялись.

— Что ж ты бьешься, гадюка перекопская? — сказал дрожащим голосом Карасев. — Я шутю, а ты…

Врангель вытащил из кармана бумагу и ткнул ее в нос Карасеву. Бумагу облепили и начали читать:

«…Ввиду того, что никакого мне проходу нету в жизни, просю мне роковую фамилию сменить на многоуважаемую фамилию по матери — Иванов…»

Сбоку было написано химическим карандашом «удовлетворить».

— Свинья ты… — заныл Карасев. — Что ж ты мне ударил?

— А ты не дражни, — неожиданно сказали в толпе. — Иванов, с тебя магарыч!

Комментарии. В. И. Лосев

Игра природы

Впервые — Гудок. 1924. 13 сентября. С подписью: «Михаил Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Булгаков иногда позволял себе и в «Гудке», где естественными и нужными считались только фельетоны на производственные темы железнодорожного ведомства, блеснуть сатирой на общеполитические темы. И в этом вроде бы безобидном фельетоне разбросана по тексту большая порция яду. Например, такой кусочек: «…глянул… на портрет Троцкого, с Троцкого на Врангеля, с Врангеля…» Или еще: «Каково показалось вам при власти Советов и вообще у нас в Ре-Се-Фе-Се-Ре?» Это «Ре-Се-Фе-Се-Ре» Булгаков с наслаждением вкраплял и в другие свои

сочинения. И конечно, без размашистого удара Врангеля-Иванова по физиономии глумливого пролетария Карасева фельетон не имел бы логического, эффектного конца.

Стенка на стенку

В день престольного праздника в селе Поплевине, в районе станции Ряжск, происходил традиционный кулачный бой крестьян. В этом бое принял участие фельдшер ряжского приемного покоя, подавший заявление о вступлении в партию.

Рабкор

Часть I. НА ВЫГОНЕ

В день престольного праздника преподобного Сергия в некоем селе загремел боевой клич:

— Братцы! Собирайся! Братцы, не выдавай!

Известный всему населению дядя, по прозванию Козий Зоб, инициатор и болван, вскричал командным голосом:

— Стой, братцы! Не все собрамшись. Некоторые у обедни.

— Правильно! — согласилось боевое население.

В церкви торопливо звякали колокола, и отец настоятель на скорую руку бормотал слова отпуска. Засим, как вздох, донесся заключительный аккорд хора, и мужское население хлынуло на выгон.

— Ура, ура!

Голова дяди Зоба мелькала в каше, и донеслись его слова:

— Стой! Отставить…

Стихло.

И Зоб произнес вступительное слово:

— Медных пятаков чеканки тысяча девятьсот двадцать четвертого года в кулаки не зажимать. Под вздох не бить дорогих противников, чтобы не уничтожить население. Лежачего ногами не топтать: он не просо! С Богом!

— Урра! — разнесся богатырский клич.

И тотчас мужское население разломилось на две шеренги. Они разошлись в разные стороны и с криком «ура» двинулись друг на друга.

— Не выдавай, Прокудин! — выла левая шеренга. — Бей их, сукиных сынов, в нашу голову!!!

— Бей! Эй, эй! — разнесли перелески.

Шеренги сошлись, и первой жертвой силача Прокудина стал тот же бедный Зоб. Как ни били со всех сторон Прокудина, он дорвался до зобовой скулы и так тяжко съездил его, поддав еще в то место, на котором Козий Зоб заседал обыкновенно на общих собраниях сельсовета, что Зоб моментально вылетел из строя. Его бросило головой вперед, а ногами по воздуху, причем из кармана Зоба выскочило шесть двугривенных, изо рта два коренных зуба, из глаз искры, а из носа — темная кровь.

— Братья! — завыла правая шеренга. — Неужто поддадимся?

Кровь Зоба возопияла к небу, и тотчас получилось возмездие.

Стены сошлись вплотную, и кулаки забарабанили, как цепы на гумне. Вторым высадило из строя Васю Клюкина, и Вася физиономией проехался по земле, ободрав как первую, так и вторую. Он лег рядом с Зобом и сказал только два слова:

— Сапоги вдове…

Без рукавов и с рваным в клочья задом вылетел Птахин, повернулся по оси, ударил кого-то по затылку, но мгновенно его самого залепило плюхою в два аршина, после чего он рявкнул:

— Сдаюсь! Света Божьего не вижу…

И перешел в лежачее положение.

За околицей тревожно взвыли собаки, легонько начали повизгивать бабы-зрительницы.

И вот, в манишке, при галстуке и калошах, показался, сияя празднично, местный фельдшер Василий Иваныч Талалыкин. Он приблизился к кипящему бою, и глазки его сузились. Он потоптался па месте, потом нерешительно рукою дернул себя за галстук, затем более решительно прошелся по пуговицам пиджака, разом скинул его и, издав победоносный клич, врезался в битву. Правая шеренга получила подкрепление, и, как орел, бросился служитель медицины увечить своих пациентов. Но те не остались в долгу. Что-то крякнуло, и выкатился вон, как пустая банка из-под цинковой мази, универсальный врач, усеивая пятнами крови зеленую траву.

Часть II. ВЫГНАЛИ

Через два дня в Укоме города Р. появился фельдшер Василий Иванович Талалыкин. Он был в кожаной куртке, при портрете вождя, и сознательности до того много было в его лице, что становилось даже немножко тошно. Поверх сознательности помещался разноцветный фонарь под правым оком фельдшера, а левая скула была несколько толще правой… Сияя глазами, ясно говорящими, что фельдшер постиг до дна всю политграмоту, он приветствовал всех словами, полными достоинства:

— Здравствуйте, товарищи.

На что ему ответили гробовым молчанием.

А секретарь Укома, помолчав, сказал фельдшеру такие слова:

— Пройдемте, гражданин, на минутку ко мне.

При слове «гражданин» Талалыкина несколько передернуло.

Дверь прикрыли, и секретарь, заложив руки в карманы штанов, молвил такое:

— Тут ваше заявление есть о вступлении в партию.

— Как же, как же, — ответил Талалыкин, предчувствуя недоброе и прикрывая лодошкою фонарь.

— Вы ушиблись? — подозрительно ласково спросил секретарь.

— М… м… ушибси, — ответил Талалыкин. — Как же, на притолоку налетел… М-да… Заявленьице. Вот уже год стучусь в двери нашей дорогой партии, под знамена которой, — запел вдруг Талалыкин тонким голосом, — я рвусь всеми фибрами моей души. Вспоминая великие заветы наших вож…

— Довольно, — неприятным голосом прервал секретарь, — достаточно. Вы не попадаете под знамена!

— Но почему же? — мертвея, спросил Талалыкин.

Вместо ответа секретарь указал пальцем на цветной фонарь.

Талалыкин ничего не сказал. Он повесил голову и удалился из Укома.

Раз и навсегда.

Комментарии. В. И. Лосев

Стенка на стенку

Впервые — Гудок. 1924. 19 октября. С подписью: «Михаил Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Звуки польки неземной

Нет, право… после каждого бала как

будто грех какой сделал. И вспоми-

нать о нем не хочется.

Из Гоголя

П-пай-дем, пппай-дем…

Ангел милый,

Пп-ольку танцевать со мной!!!

— Сс… с… — свистала флейта.

— Слышу, слышу, — пели в буфете.

— П-польки, п-полечки, п-полыси, — бухали трубы в оркестре.

Звуки польки неземной!!!

Здание льговского нардома тряслось. Лампочки мигали в тумане, и совершенно зеленые барышни и багровые взмыленные кавалеры неслись вихрем. Ветром мело окурки, и семечковая шелуха хрустела под ногами, как вши.

Пай-дем, па-а-а-а-й-дем!!

— Ангел милый, — шептал барышне осатаневший телеграфист, улетая с нею в небо.

— Польку! А гош, мадам! — выл дирижер, вертя чужую жену. — Кавалеры похищают дам!

С него капало и брызгало. Воротничок раскис.

В зале, как на шабаше, металась нечистая сила.

— На мозоль, на мозоль, черти! — бормотал нетанцующий, пробираясь в буфет.

— Музыка, играй № 5! — кричал угасающим голосом из буфета человек, похожий на утопленника.

— Вася, — плакал второй, впиваясь в борты его тужурки, — Вася! Пролетариев я не замечаю! Куды ж пролетарии-то делись?

— К-какие тебе еще пролетарии? Музыка, урезывай польку!

— Висели пролетарии на стене и пропали…

— Где?

— А вон… вон…

— Залепили голубчиков! Залепили. Вишь, плакат на них навесили. Паку… па-ку… покупайте серпантин и соединяйтесь…

— Горько мне! Страдаю я…

— А-ах, как я страдаю! — зазывал шепотом телеграфист, пьянея от духов. — И томлюсь душой!

Польку я желаю… танцевать с тобой!!

— Кавалеры наступают на дам, и наоборот! А дру-ат, — ревел дирижер.

В буфете плыл туман.

— По баночке, граждане, — приглашал буфетный распорядитель с лакированным лицом, разливая по стаканам загадочную розовую жидкость, — в пользу библиотеки! Иван Степаныч, поддержи, умоляю, гранит науки!

— Я ситро не обожаю…

— Чудак ты, какое ситро! Ты глотни, а потом и говори.

— Го-го-го… Самогон!

— Ну, то-то!

— И мне просю бокальчик.

— За здоровье премированного красавца бала Ферапонта Ивановича Щукина!

— Счастливец, коробку пудры за красоту выиграл!

— Протестую против. Кривоносому несправедливо выдали.

— Полегче. За такие слова, знаешь.

— Не ссорьтесь, граждане!

Блестящие лица с мороженными, как у судаков, глазами осаждали стойку. Сизый дым распухал клочьями, в глазах двоилось.

— Позвольте прикурить.

— Пажалст…

— Почему три спички подаете?

— Чудак, тебе мерещится!

— Об которую ж зажигать?

— Цельсяна среднюю, вернее будет.

В зале бушевало. Рушились потолки и полы. Старые стены ходили ходуном. Стекла в окнах бряцали.

— Дзинь… дзинь… дзинь!!

— Польки — дзинь! П-польки — дзинь! — рявкали трубы.

Звуки польки неземной!!!

Комментарии. В. И. Лосев

Звуки польки неземной

Впервые — Гудок. 1924. 16 ноября. С подписью: «Письмо рабкора списал М. Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Целитель

12 декабря ремонтный рабочий Верейцовской ветки Западных т. Баяшко, будучи болен ногами и зная, что у его больного соседа находится прибывший из Уборок фельдшер гр. К., попросил осмотреть и его, но фельдшер не осмотрел т. Баяшко, а сказал, что его ноги надо поотрубить, и уехал, не оказав никакой помощи.

Минус

Вошел, тесемки на халате завязал и крикнул:

— По очереди!

В первую очередь попал гражданин с палкой. Прыгал, как воробей, поджав одну ногу.

— Что, брат, прикрутило?

— Батюшка фельдшер! — запел гражданин.

— Спускай штаны. Ба-ба-ба!

— Батюшка, не пугай!

— Пугать нам нечего. Мы не для того приставлены. Приставлены мы лечить вас, сукиных сынов, на транспорте. Гангрена коленного сустава с поражением центральной нервной системы.

— Батюшка!!

— Я сорок лет батюшка. Надевай штаны.

— Батюшка, что ж с ногой-то будет?

— Ничего особенного. Следующий! Отгниет по колено — и шабаш.

— Бат…

— Что ты расквакался: «батюшка, батюшка». Какой я тебе батюшка? Капли тебе выпишу. Когда нога отвалится, приходи. Я тебе удостоверение напишу. Соцстрах будет тебе за ногу платить. Тебе еще выгоднее. А тебе что?

— Не вижу, красавец, ничего не вижу. Как вечером — дверей не найду.

— Ты, между прочим, не крестись, старушка. Тут тебе не церковь. Трахома у тебя, бабушка. С катарактой первой степени по статье А.

— Красавчик ты наш!

— Я сорок лет красавчик. Глаза вытекут, будешь знать!

— Краса!!

— Капли выпишу. Когда совсем ни черта видеть не будут, приходи. Бумажку напишу. Соцстрах тебе за каждый глаз по червю будет платить. Тут не реви, старушка, в соцстрахе реветь будешь. А вам что?

— У малышки морда осыпалась, гражданин лекпом.

— Ага. Так. Давай его сюда. Ты не реви. Тебя женить пора, а ты ревешь. Эге-ге-ге…

— Гражданин лекпом. Не терзайте материнское сердце!

— Я не касаюсь вашего сердца. Ваше сердце при вас и останется. Водяной рак щеки у вашего потомка.

— Господи, что ж теперь будет?

— Гм… Известно что: прободение щеки, и вся физиономия набок. Помучается с месяц — и крышка. Вы тогда приходите, я вам бумажку напишу. А вам что?

— На лестницу не могу взойти. Задыхаюсь.

— У вас порок пятого клапана.

— Это что такое значит?

— Дыра в сердце.

— Ловко!

— Лучше трудно.

— Завещание написать успею?

— Ежели бегом добежите.

— Мерси, несусь.

— Неситесь. Всего лучшего. Следующий! Больше нету? Ну, и ладно. Отзвонил — и с колокольни долой!

Комментарии. В. И. Лосев

Целитель

Впервые — Гудок. 1925. 4 января. С подписью: «Михаил Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Залог любви

I. ЛУННЫЕ ТЕНИ

Угасли звуки на станции. Даже неугомонный маневровый паровоз перестал выть и заснул на пути. Луна, радостно улыбаясь, показалась над лесом и все залила волшебным зеленоватым светом. А тут еще запахли акации, ударили в голову, и засвистал безработный соловей… И тому подобное.

Две тени жались в узорной тени кустов, и в лунном отблеске изредка светились проводницкие пуговицы.

— Ведь врешь ты все, подлец, — шепнул женский голос, — поиграешь и бросишь.

— Маруся, и тебе не совестно? — дрожа от обиды, шептал сиплый голос. — Я, по-твоему, способен на такую пакость? Да я скорей, Маня, пулю пущу себе в лоб, чем женщину обману!

— Пустишь ты пулю, держи карман, — бормотал женский голос, волнуясь. — От тебя жди! Сорвешь цвет удовольствия, а потом сел в скорый поезд, только тебя и видели. Откатись ты лучше от меня!

«Целуются, черти, — тоскливо думал холостой начальник станции, сидя на балконе, — луна, положим, такая, что с семафором поцелуешься».

— Знаем, — шептала тень, отталкивая другую тень, — видали мы таких. Поешь, поешь, а потом я рыдать с дитем буду, кулаками ему слезы утирать.

— Я тебя не допущу рыдать, Манюша. Сам ему, дитю, если такое появится, кулаками слезы вытру. Он у нас и не пикнет. Дай в шейку поцелую. Четыре червонца буду младенцу выдавать или три.

— Фу ты, наваждение, — крякнул начальник станции и убрался с балкона.

— Одним словом, уходи.

— Дай-ка губки.

— На… И откатывайся. Прилип, как демон.

«Неподатливая баба, — думала тень, поблескивая пуговицами. — Ну, я тебя разгрызу! Ах ты, черт. Мысль у меня мелькнула… Эх, и золотая ж голова у меня…»

— Знаешь, Маруся, что я тебе скажу. Уж если ты словам моим не веришь, так я тебе залог оставлю.

— Уйди ты с залогом, не мучай!

— Нет, Маруся, ты погоди. Ты знаешь, что я тебе оставлю, — тень зашептала, зашептала, стала расстегивать пуговицы. — Уж это такой залог… без этого, брат ты мой, я и существовать не могу. Все равно к тебе вернусь.

— Покажи…

Долго еще шептались тени, что-то прятали.

Потом настала тишина.

Луна вдруг выглянула из-за сосен и стыдливо завернулась в облака, как турчанка в чадру.

И темно.

II. В СУНДУКЕ ЗАЛОГ

Лил дождь. Маруся сидела у окошка и думала: «Куда же он, подлец, запропастился? Ох, чуяло мое сердце. Ну да ладно, попрыгаешь, попрыгаешь да придешь. Далеко без залога не ускачешь. Мое счастье в сундуке заперто… Но все-таки интересно, где он находится, соблазнитель моей жизни?»

III. ЗЛОДЕЙСКИЙ ПЛАН

Соблазнитель в это время находился в отделении милиции.

— Вам что, гражданин? — спросило его милицейское начальство.

Соблазнитель кашлянул и заговорил:

— Гм… Так что произошло со мной несчастье.

— Какое?

— Неописуемая вещь. Трудкнижку посеял.

— Вещь описуемая. Бывает с неаккуратными людьми. При каких обстоятельствах произошло?

— Обстоятельства обыкновенные. Вот, извольте видеть, дыра в кармане. Вышел я погулять… Луна светит… Я ей и говорю…

— Кому ей?

— Тьфу!.. Это я обмолвился. Виноват. Ничего не говорю, а просто смотрю, батюшки — дыра, а трудкнижки нет!

— Публикацию поместите в газете, а затем, вырезав ее, явитесь в отделение. Выдадим новую.

— Слушаюсь.

IV. РОКОВОЕ ПИСЬМО

Через некоторое время в «Гудке» появилось:

«Утеряна трудкнижка за № таким-то, на имя такого-то. Выдана таким-то отд. милиции 8 мая 23 г.»

А через некоторое время в «Гудок» пришло письмо, поразившее редакцию как громом:

«Многоуважаемый товарищ редактор! Это всё ложь! Книжка не утеряна и такой-то врёт. Он отдал её мне в залог любви. А теперь опубликовывает в газете!»

V. ЭПИЛОГ

Такой-то рвал на себе волосы и кричал.

— Что ж мне теперь делать, после такого сраму?!

Стоял перед ним приятель и говорил ему:

— Не знаю, что уж тебе и посоветовать. Сделал ты подлость по отношению к женщине. Сам теперь и казнись!

Комментарии. В. И. Лосев

Залог любви

Впервые — Гудок. 1925. 12 февраля. С подписью: «Михаил Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Они хочуть свою образованность показать…

…и всегда говорят о непонятном!

А. Л. Чехов

Какие-то чудаки наши докладчики! Выра-

жается во время речи иностранными словами, а

когда рабочие попросили объяснить — он, ока-

зывается, сам не понимает!!

Рабкор Н. Чуфыркин

В зале над тысячью человек на три сажени стоял пар. И пар поднимался от докладчика. Он подъезжал на курьерских к концу международного положения.

— Итак, дорогие товарищи, я резюмирую! Интернациональный капитализм в конце концов и в общем и целом довел свои страны до полной прострации. У акул мирового капитализма одно соображение, как бы изолировать советскую страну и обрушиться на нее с интервенцией! Они использовывают все возможности вплоть до того, что прибегают к диффамации, то есть сочиняют письма, якобы написанные тов. Зиновьевым! Это, товарищи, с точки зрения пролетариата — моральное разложение буржуазии и ее паразитов и камер-лакеев из Второго Интернационала!

Оратор выпил полстакана воды и загремел, как труба:

— Удается ли это им, товарищи? Совершенно наоборот! Это им не удается! Капиталистическая вандея, окруженная со всех сторон волнами пока еще аморфного пролетариата, задыхается в

собственном соку, и перед капиталистами нет другого исхода, как признать Советский Союз, аккредитовав при нем своих полномочных послов!!

И моментально оратор нырнул вниз, словно провалился. Затем выскочила из кресла его голова и предложила:

— Если кто имеет вопросы, прошу задавать.

В зале наступила тишина. Затем в отдалении зашевелилась в самой гуще и вышла голова Чуфыркина.

— Вы имеете, товарищ? — ласково обратился с эстрады совершенно осипший оратор.

— Имею, — ответил Чуфыркин и облокотился на спинку переднего стула. Вид у Чуфыркина был отчаянный. — Ты из меня всю кровь выпил!

Зал охнул, и все головы устремились на смельчака Чуфыркиа.

— Сижу — и не понимаю: жив я или уже помер, — объяснил Чуфыркин.

В зале настала могильная тишина.

— Виноват. Я вас не понимаю, товарищ, — оратор обидчиво скривил рот и побледнел.

— В голове пузыри буль-буль, как под водой сидишь, — объяснил Чуфыркин.

— Я не понимаю, — заволновался оратор.

Председатель стал подниматься с кресла.

— Вы, товарищ, вопрос имеете? Ну?

— Имею, — подтвердил Чуфыркин, — объясни — «резюмирую».

— То есть как это, товарищ? Я не понимаю, что объяснить?..

— Что означает — объясни!

— Виноват, ах да. Вам не совсем понятно, что означает «резюмирую»?

— Совершенно непонятно, — вдруг крикнул чей-то измученный голос из задних рядов. — Вандея какая-то. Кто она такая?

Оратор стал покрываться клюквенной краской.

— Сию минуту. М-м-м… Так, вы про «резюмирую». Это, видите ли, товарищ, слово иностранное.

— Оно и видно, — ответил чей-то женский голос сбоку.

— Что обозначает? — повторил Чуфыркин.

— Видите ли, резю-зю-ми-ми… — забормотал оратор. — Понимаете ли, ну вот, например, я, скажем, излагаю речь. И вот выводы, так сказать. Одним словом, понимаете?..

— Черти серые, — сказал Чуфыркин злобно.

Зал опять стих.

— Кто серые? — растерянно спросил оратор.

— Мы, — ответил Чуфыркин, — не понимаем, что вы говорите.

— У него образование высшее, он высшую начальную школу окончил, — сказал чей-то ядовитый голос, и председатель позвонил. Где-то засмеялись.

— «Интервенцию» — объясните, — продолжал Чуфыркин настойчиво.

— И «диффамацию», — добавил чей-то острый, пронзительный голос сверху и сбоку.

— И кто такой камер-лакей? В какой камере?!

— Про Вандею расскажите!!

Председатель взвился, начал звонить.

— Не сразу, товарищи, прошу по очереди!

— «Аккредитовать» — не понимаю?!

— Ну, что значит «аккредитовать»? — растерялся оратор. — Ну, значит, послать к нам послов.

— Так и говори!! — раздраженно забасил кто-то на галерее.

— «Интервенцию» даешь!! — отозвались задние! ряды.

Какая-то лохматая учительская голова поднялась и, покрывая нарастающий гул, заявила:

— И, кроме того, имейте в виду, товарищ оратор, что такого слова «использовывать» в русском языке нет! Можно сказать — использовать.

— Здорово! — отозвался зал. — Вот так припаял! Шкраб, он умеет!

В зале начался бунт.

— Говори, говори! Пока у меня мозги винтом не завинтило! — страдальчески кричал Чуфыркин. — Ведь это же немыслимое дело!!

Оратор, как затравленный волк, озираясь на председателя, вдруг куда-то провалился. Багровый председатель оглушительно позвонил и выкрикнул:

— Тише! Предлагается перерыв на десять минут. Кто за?

Зал ответил бурным хохотом, и целый лес рук поднялся кверху.

Комментарии. В. И. Лосев

Они хочуть свою образованность показать…

Впервые — Гудок. 1925. 15 февраля. С подписью: «М. Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Мадмазель Жанна

У нас в клубе на ст. З. был вечер прори-

цательницы и гипнотизерки Жанны.

Угадывала чужие мысли и заработала 150 руб-

лей за вечер.

Рабкор

Замер зал. На эстраде появилась дама с беспокойными подкрашенными глазами в лиловом платье и красных чулках. А за нею бойкая, словно молью траченная личность в штанах в полоску и с хризантемой в петлице пиджака. Личность швырнула глазом вправо и влево, изогнулась и шепнула даме на ухо:

— В первом ряду лысый, в бумажном воротничке, второй помощник начальника станции. Недавно предложение сделал — отказала. Нюрочка. (Публике громко.) Глубокоуважаемая публика. Честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадмазель Жанну из Парижа и Сицилии. Угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно интимные семейные тайны!

Зал побледнел.

(Жанне.) Сделай загадочное лицо, дура. (Публике.) Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует. (Жанне.) Сто раз тебе говорил, чтоб браслетку надевать на вечер. (Публике.) Все построено исключительно на силах природы с разрешения месткома и культурно-просветительной комиссии и представляет собою виталлопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом. (Жанне.) Под лозунгом сбоку с ридикюлем, ей муж изменяет на соседней станции. (Публике.) Если кто желает узнать глубокие семейные тайны, прошу задавать вопросы мне, а я внушу путем гипнотизма, усыпив знаменитую Жанну… Прошу вас сесть, мадмазель… по очереди, граждане! (Жанне.) Раз, два, три — и вот вас начинает клонить ко сну! (Делает какие-то жесты руками, как будто тычет в глаза Жанне.) Перед вами изумительный пример оккультизма. (Жанне.) Засыпай, что сто лет глаза таращишь? (Публике.) Итак, она спит! Прошу…

В мертвой тишине поднялся помощник начальника, побагровел, потом побледнел и спросил диким голосом от страху:

— Какое самое важное событие в моей жизни? В настоящий момент?

Личность (Жанне):

— На пальцы смотри внимательней, дура.

Личность повертела указательным пальцем под хризантемой, затем сложила несколько таинственных знаков из пальцев, что обозначало «раз-би-то-е».

— Ваше сердце, — заговорила Жанна, как во сне, гробовым голосом, — разбито коварной женщиной.

Личность одобрительно заморгала глазами. Зал охнул, глядя на несчастливого помощника начальника станции.

— Как ее зовут? — хрипло спросил отвергнутый помощник.

— Эн, ю, эр, о, ч… — завертела пальцами у лацкана пиджака личность.

— Нюрочка! — твердо ответила Жанна.

Помощник начальника станции поднялся с места совершенно зеленый, тоскливо глянул во все стороны, уронил шапку и коробку с папиросами и ушел.

— Выйду ли я замуж? — вдруг истерически выкликнула какая-то барышня. — Скажите, дорогая мадмазель Жанна?

Личность опытным глазом смерила барышню, приняла во внимание нос с прыщом, льняные волосы и кривой бок и сложила у хризантемы условный шиш.

— Нет, не выйдете, — сказала Жанна.

Зал загремел, как эскадрон на мосту, и помертвевшая барышня выскочила вон.

Женщина с ридикюлем отделилась от лозунгов и сунулась к Жанне.

— Брось, Дашенька, — послышался сзади сиплый мужской шепот.

— Нет, не брось, теперь я узнаю все твои штучки-фокусы, — ответила обладательница ридикюля и сказала: — Скажите, мадмазель, что, мой муж мне изменяет?

Личность обмерила мужа, заглянула в смущенные глазки, приняла во внимание густую красноту лица и сложила палец крючком, что означало «да».

— Изменяет, — со вздохом ответила Жанна.

— С кем? — спросила зловещим голосом Дашенька.

«Как, черт, ее зовут? — подумала личность. — Дай Бог памяти… да, да, да жена этого… ах ты, черт… вспомнил — Анна».

— Дорогая Ж…анна, скажите, Ж…анна, с кем изменяет ихний супруг?

— С Анной, — уверенно ответила Жанна.

— Так я и знала! — с рыданием воскликнула Дашенька. — Давно догадывалась. Мерзавец!

И с этими словами хлопнула мужа ридикюлем по правой, гладко выбритой щеке.

И зал разразился бурным хохотом.

Комментарии. В. И. Лосев

Мадмазель Жанна

Впервые — Гудок. 1925. 25 февраля. С подписью: «Михаил Булгаков».

Печатается по тексту газеты — «Гудок».

Этот фельетон словно предвосхищает знаменитый «сеанс черной магии» в романе «Мастер и Маргарита».

Кондуктор и член императорской фамилии

Кондуктора Московско-Белорусско-Балтийской

дороги снабжены инструкцией № 85, составлен-

ной во времена министерства путей сообщения,

об отдании разных почестей членам император-

ской фамилии.

Рабкор

Кондуктора совершенно ошалели.

Бумага была глянцевитая, плотная, казенная, пришедшая из центра, и на бумаге было напечатано:

«Буде встретишь кого-либо из членов профсоюза железнодорожников, приветствуй его вежливым наклонением головы и словами: „Здравствуйте, товарищ“. Можно прибавить и фамилию, если таковая известна.

А буде появится член императорской фамилии, то приветствовать его отданием чести согласно формы № 85 и словами." «Здравия желаю, ваше императорское высочество!» А ежели это окажется сверх всяких ожиданий и сам государь император, то слово «высочество» заменяется словом «величество».

Получив эту бумагу, Хвостиков пришел домой и от огорчения сразу заснул. И лишь только заснул, оказался на перроне станции. И пришел поезд.

«Красивый поезд, — подумал Хвостиков, — кто бы это такой, желал бы я знать, мог приехать в этом поезде?»

И лишь только он это подумал, зеркальные стекла засверкали электричеством, двери растворились и вышел из синего вагона государь император. На голове у него лихо сидела сияющая корона, а на плечах белый с хвостиками горностай. Сверкающая орденами свита, шлепая шпорами, высыпалась следом.

«Что же это такое, братцы?» — подумал Хвостиков и оцепенел.

— Ба! Кого я вижу? — сказал государь император прямо в упор Хвостикову, — если глаза меня не обманывают, это бывший мой верноподданный, а ныне товарищ, кондуктор Хвостиков? Здравствуй, дражайший!

— Караул… Здравия желаю… засыпался… ваше… пропал, и с детками… императорское величество, — совершенно синими губами ответил Хвостиков.

— Что ж ты какой-то кислый, Хвостиков? — спросил государь император.

— Смотри веселей, сволочь, когда разговариваешь! — шепнул сзади свитский голос.

Хвостиков попытался изобразить на лице веселье. И оно вышло у него странным образом. Рот скривился направо, и сам собой закрылся левый глаз.

— Ну, как же ты поживаешь, милый Хвостиков? — осведомился государь император.

— Покорнейше благодарим, — беззвучно ответил полумертвый Хвостиков.

— Все ли в порядке? — продолжал беседу государь император. — Как касса взаимопомощи поживает? Общие собрания?

— Все благополучно, — отрапортовал Хвостиков.

— В партию еще не записался? — спросил император.

— Никак нет.

— Ну, а все-таки сочувствуешь ведь? — осведомился государь император и при этом улыбнулся так, что у Хвостикова по спине прошел мороз градусов на пять.

— Отвечай, не заикаясь, к-каналья, — посоветовал сзади голос.

— Я немножко, — ответил Хвостиков, — самую малость…

— Ага, малость. А скажи, пожалуйста, дорогой Хвостиков, чей это портрет у тебя на грудях?

— Это… Это до некоторой степени т. Каменев, — ответил Хвостиков и прикрыл Каменева ладошкой.

— Тэк-с, — сказал государь император, — очень приятно. Но вот что: багажные веревки у вас есть?

— Как же, — ответил Хвостиков, чувствуя холод в желудке.

— Так вот: взять этого сукиного сына и повесить его на багажной веревке на тормозе, — распорядился государь император.

— За что же, товарищ император? — спросил Хвостиков, и в голове у него все перевернулось кверху ногами.

— А вот за это самое, — бодро ответил государь император, — за профсоюз, за «Вставай, проклятьем заклейменный», за кассу взаимопомощи, за «Весь мир насилья мы разроем», за портрет, за «до основанья, а затем»… и за тому подобное прочее. Взять его!

— У меня жена и малые детки, ваше товарищество, — ответил Хвостиков.

— Об детках и о жене не беспокойся, — успокоил его государь император, — и жену повесим, и деток. Чувствует мое сердце, и по твоей физиономии я вижу, что детки у тебя — пионеры. Ведь пионеры?

— Пи… — ответил Хвостиков, как телефонная трубка.

Затем десять рук схватили Хвостикова.

— Спасите! — закричал Хвостиков, как зарезанный.

И проснулся.

В холодном поту.

Комментарии. В. И. Лосев

Кондуктор и член императорской фамилии

Впервые — Гудок. 1925. 27 февраля. С подписью: «Михаил Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Фельетон написан как раз в те дни, когда создавалась повесть «Собачье сердце». Настроение писателя было боевым, и он ждал решительных перемен в «Рэсэфэсэре». «Сон» Хвостикова заставлял читателей задуматься о возможных изменениях в стране.

Праздник с сифилисом

В день работницы, каковой празднуем каждогодно марта восьмого дня, растворилась дверь избы-читальни, что в деревне Лака-Тыжма, находящейся под благосклонным шефством Казанской дороги, и впустила в избу-читальню местного санитарного фельдшера (назовем его хотя бы Иван Иванович).

Если бы не то обстоятельство, что в день 8 Марта никакой сознательный гражданин не может появиться пьяным, да еще и на доклад, да еще в избу-читальню, если бы не обстоятельство, что фельдшер Иван Иванович, как хорошо известно, в рот не берет спиртного, можно было бы побиться об заклад, что фельдшер целиком и полностью пьян.

Глаза его походили на две сургучные пробки с сороковок русской горькой, и температура у фельдшера была не свыше 30 градусов. И до того ударило в избе спиртом, что председатель собрания курение прекратил и предоставил слово Ивану Ивановичу в таких выражениях:

— Слово для доклада по поводу Международного дня работницы предоставляется Ивану Ивановичу.

Иван Иванович, исполненный алкогольного достоинства, за третьим разом взял приступом эстраду и доложил такое:

— Прежде чем говорить о Международном дне, скажем несколько слов о венерических болезнях!

Вступление это имело полный успех: наступило могильное молчание, и в нем лопнула электрическая лампа.

— Да-с… Дорогие мои международные работницы, — продолжал фельдшер, тяжело отдуваясь, — вот я вижу ваши личики передо мной в количестве восьмидесяти штук…

— Сорока, — удивленно сказал председатель, глянув в контрольный лист.

— Сорока? Тем хуже… То есть лучше, — продолжал оратор, — жаль мне вас, дорогие мои девушки и дамы… пардон, — женщины! Ибо чем меньше населения в данной области, как показывает статистика, тем менее заболеваний венерическими болезнями, и наоборот. И в частности, сифилисом… Этим ужасающим бичом для пролетариата, не щадящим никого… Знаете ли вы, что такое сифилис?

— Иван Иванович! — воскликнул председатель.

— Помолчи минутку. Не перебивай меня. Сифилис, — затяжным образом икая, говорил оратор, — штука, которую схватить чрезвычайно легко! Вы тут сидите и думаете, что, может быть, вы застрахованы? (Тут фельдшер зловеще засмеялся…) Хм! Шиш с маслом. Вот тут какая-нибудь девушка ходит в красной повязке, радуется, восьмые там марты всякие и тому подобное, а потом женится и, глядишь, станет умываться в один прекрасный день… сморкнется — и хлоп! Нос в умывальнике, а вместо носа, простите за выражение, дыра!

Гул прошел по всем рядам, и одна из работниц, совершенно белая, вышла за дверь.

— Иван Иванович! — воскликнул председатель.

— Виноват. Мне поручено, я и говорю. Вы думаете, что, может, невинность вас спасет? Го-го-го!.. Да и много ли среди вас неви…

— Иван Иванович!! — воскликнул председатель.

Еще две работницы ушли, оглянувшись в ужасе на эстраду.

— Придете вы, например, сюда. Ну, скажем, бак с кипяченой водой… То да се… Жарко, понятное дело, — расстегивая раскисший воротничок, продолжал оратор, — сейчас, понятное дело, к кружке… Над вами: «Не пейте сырой воды» и тому подобные плакаты Коминтерна, а пред вами сифилитик пил со своей губой… Ну, скажем, наш же председатель…

Председатель без слов завыл. Двадцать работниц с отвращением вытерли губы платками, а кто их не имел — подолами.

— Что ты воешь? — спросил фельдшер у председателя.

— Я никаким сифилисом не болел!!! — закричал председатель и стал совершенно такой, как клюква.

— Чудак… Я к примеру говорю… Ну, скажем, она, — и фельдшер ткнул трясущимся пальцем куда-то в первый ряд, который весь и опустел, шурша юбками.

— Когда женщина 8 Марта… Достигает половой, извиняюсь, зрелости, — пел с кафедры оратор, которого все больше развозило в духоте, — что она себе думает?

— Похабник! — сказал тонкий голос в задних рядах.

— Единственно, о чем она мечтает в лунные ночи, — это устремиться к своему половому партнеру, — доложил фельдшер, совершенно разъезжаясь по швам.

Тут в избе-читальне начался стон и скрежет зубовный. Скамьи загремели и опустели. Вышли поголовно все работницы, многие — с рыданием.

Остались двое: председатель и фельдшер.

— Половой же ее партнер, — бормотал фельдшер, качаясь и глядя на председателя, — дорогая моя работница, предается любви и другим порокам…

— Я не работница! — воскликнул председатель.

— Извиняюсь, вы мужчина? — спросил фельдшер, тараща глаза сквозь пелену.

— Мужчина! — оскорбленно выкрикнул председатель.

— Не похоже, — икнул фельдшер.

— Знаете, Иван Иванович, вы пьяный, как хам, — дрожа от негодования, воскликнул председатель, — вы мне, извините, праздник сорвали! Я на вас буду жаловаться в центр и даже выше!

— Ну, жалуйся, — сказал фельдшер, сел в кресло и заснул.

Михаил

Комментарии. В. И. Лосев

Праздник с сифилисом

Впервые — Гудок. 1925. 27 марта. С подписью: «Михаил».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Банщица Иван

В бане на станции Эсино Муромской линии
в женский день, пятницу, неизменно присутст-
вует один и тот же банщик дядя Иван, при ко-
тором посетительницам бани приходится разде-
ваться, пользуясь тазами вместо фиговых лист-
ков.
Неужели нельзя поставить в пятницу в ба-
ню одну из женщин, работающих в ремонте?
Рабкор

ПРЕДИСЛОВИЕ

До того неприлично про это писать, что перо опускается.

I. В БАНЕ

— Дядь Иван, а дядь Иван!

— Што тебе? Мыло, мочалка имеется?

— Все имеется, только умоляю тебя: уйди ты к чертям!

— Ишь, какая прыткая, я уйду, а в энто время одежу покрадут. А кто отвечать будет — дядя Иван. Во вторник мужской день был, у начальника станции порцыгар свистнули. А кого крыли? Меня, дядю Ивана!

— Дядя Иван! Да хоть отвернись на одну секундочку, дай пробежать!

— Ну, ладно, беги!

Дядя Иван отвернулся к запотевшему окошку предбанника, расправил рыжую бороду веером и забурчал:

— Подумаешь, невидаль какая. Чудачка тоже. Удовольствие мне, что ли? Должность у меня уж такая похабная… Должность заставляет.

Женская фигура выскочила из простыни и, как Ева по раю, побежала в баню.

— Ой, стыдобушка!

Дверь в предбанник открылась, выпустила тучу пара, а из тучи вышла мокрая, распаренная старушка, тетушка дорожного мастера. Старушка выжала мочалку и села на диванчик, мигая от удовольствия глазами.

— С легким паром, — поздравил ее над ухом сиплый бас.

— Спасибо, голубушка. Спас… Ой! С нами крестная сила. Да ты ж мужик?!

— Ну и мужик, дак что… Простыня не потребуется?

— Казанская Божья Мать! Уйди ты от меня со своей простыней, охальник! Что ж это у нас в бане делается?

— Что вы, тетушка, бушуете, я же здесь был, когда вы пришли!

— Да не заметила давеча я! Плохо вижу я, бесстыдник. А теперь гляжу, а у него борода, как метла! Манька, дрянь, простыней закройся!

— Вот мученье, а не должность, — пробурчал дядя Иван, отходя.

— Дядя Иван, выкинься отсюда! — кричали женщины с другой стороны, закрываясь тазами, как щитами от неприятеля.

Дядя Иван повернулся в другую сторону, оттуда завыли, дядя Иван бросился в третью сторону, оттуда выгнали. Дядя Иван плюнул и удалился из предбанника, заявив зловеще:

— Ежели что покрадут, я снимаю с себя ответственность.

II. В ПИВНОЙ

В воскресный день измученный недельной работой дядя Иван сидел за пивом в пивной «Красный Париж» и рассказывал:

— Чистое мученье, а не должность. В понедельник топить начинаю, во вторник всякие работники моются, в среду которые с малыми ребятами, в четверг просто рядовые мужчины, в пятницу женский день. Женский день мне самый яд. То есть глаза б мои не смотрели. Набьется баб полные бани, орут, манатки свои разбросают. И главное, на меня обижаются, а я при чем? Должен я смотреть или нет, если меня приставили к этому делу. Должен! Нет, хуже баб нету народа на свете. Одна и есть приличная женщина — жена нашего нового служащего Коверкотова. Аккуратная бабочка. Придет, все свернет, разложит, только скажет: «Дядя Иван, провались ты в преисподнюю»… Одно нехорошо: миловидная такая бабочка с лица, а на спине у нее родинка, да ведь до чего безобразная, как летучая мышь прямо, посмотришь, плюнуть хочется…

— Что-о-о-о?! Какая такая мышь?.. Ты про кого говоришь, рыжая дрянь?

Дядя Иван побледнел, обернулся и увидал служащего Коверкотова. Глаза у Коверкотова сверкали, руки сжимались в кулаки.

— Ты где ж мышь видал? Ты что же гадости распространяешь? А?

— Какие гадости, — начал было дядя Иван и не успел окончить… Коверкотов подвинулся к нему вплотную и…

III. В СУДЕ

— Гражданин Коверкотов, вы обвиняетесь в том, что 21 марта сего года нанесли оскорбление действием служащему при бане гражданину Ивану.

— Гражданин судья, он мою честь опозорил!

— Расскажите, каким образом вы опозорили честь гражданина Коверкотова?

— Ничего я не позорил… Чистое наказанье. Прошу вас, гражданин судья, уволить меня с должности банщицы. Сил моих больше нет.

* * *

Судья долго говорил с жаром, прикладывая руки к сердцу, и дело кончилось мировой.

Через несколько дней дядю Ивана освободили от присутствия в пятницу в женской бане и назначили вместо него женщину из ремонта.

Таким образом, на станции вновь наступили ясные дни.

Комментарии. В. И. Лосев

Банщица Иван

Впервые — Гудок. 1925. 9 апреля. С подписью: «Михаил».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

О пользе алкоголизма

На собрание по перевыборам месткома на ст. N

член союза Микула явился вдребезги пьяный.

Рабочая масса кричала: «Недопустимо!», но

представитель учка выступил с защитой Мику-

лы, объяснив, что пьянство — социальная бо-

лезнь и что можно выбирать и выпивая в состав

месткома.

Рабкор 2619

ПРОЛОГ

— К черту с собрания пьяную физиономию. Это недопустимо! — кричала рабочая масса.

Председатель то вставал, то садился, точно внутри у него помещалась пружинка.

— Слово предоставляется! — кричал он, простирая руки, — товарищи, тише!.. Слово предостав… товарищи, тише! Товарищи! Умоляю вас выслушать представителя учк…

— Долой Микулу! — кричала масса, — этого пьяницу надо изжить!

Лицо представителя появилось за столом президиума. На учкином лице плавала благожелательная улыбка. Масса еще поволновалась, как океан, и стихла.

— Товарищи! — воскликнул представитель приятным баритоном.

— Я представитель! И если он — Волна!

А масса вы — Советская Россия,

то учк не может быть не возмущен,

когда возмущена стихия!

Такое начало польстило массе чрезвычайно.

— Стихами говорит!

— Кормилец ты наш! — восхищенно воскликнула какая-то старушка и зарыдала. После того, как ее вывели, представитель продолжал:

— О чем шумите вы, народные витии?!

— Насчет Микулы шумим! — отвечала масса.

— Вон его! Позор!

— Товарищи! Именно по поводу Микулы я и намерен говорить.

— Правильно! Крой его, алкоголика!

— Прежде всего перед нами возникает вопрос: действительно ли пьян означенный Микула?

— Ого-го-го-го! — закричала масса.

— Ну, хорошо, пьян, — согласился представитель. — Сомнений, дорогие товарищи, в этом нет никаких. Но тут перед нами возникает социальной важности вопрос: на каком таком основании пьян уважаемый член союза Микула?

— Именинник он! — ответила масса.

— Нет, милые граждане, не в этом дело. Корень зла лежит гораздо глубже. Наш Микула пьян, потому что он… болен.

Масса застыла, как соляной столб.

Багровый Микула открыл один совершенно мутный глаз и в ужасе посмотрел на представителя.

— Да, — милейшие товарищи, пьянство есть не что иное, как социальная болезнь, подобная туберкулезу, сифилису, чуме, холере и… Прежде чем говорить о Микуле, подумаем, что такое пьянство и откуда оно взялось?.. Некогда, дорогие товарищи, бывший великий князь Владимир, прозванный за свою любовь к спиртным напиткам Красным Солнышком, воскликнул: «Наше веселие есть пити!»

— Здорово загнул!

— Здоровее трудно. Наши историки оценили по достоинству слова незабвенного бывшего князя и начали выпивать по малости, восклицая при этом: «Пьян, да умен — два угодья в нем!»

— А с князем что было? — спросила масса, которую заинтересовал доклад секретаря.

— Помер, голубчики. В одночасье от водки сгорел, — с сожалением пояснил всезнайка-секретарь.

— Царство ему небесное! — пискнула какая-то старушечка. — Хуть и совецкий, а все ж святой.

— Ты религиозный дурман на собрании не разводи, тетя, — попросил ее секретарь, — тут тебе царств небесных нету. Я продолжаю, товарищи. После чего в буржуазном обществе выпивали девятьсот лет подряд, всякий и каждый, не щадя младенцев и сирот. «Пей, да дело разумей», — воскликнул знаменитый поэт буржуазного периода Тургенев. После чего составился ряд пословиц народного юмора в защиту алкоголизма, как-то: «Пьяному море по колено», «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», «Не вино пьянит человека, а время», «Не в свои сани не садись», и какие, бишь, еще?

— Чай не водка, много не выпьешь! — ответила крайне заинтересованная масса.

— Верно, мерси. «Разве с полведра напьешься». «Курица и та пьет». «И пить — умереть, и не пить — умереть». «Налей, налей, товарищ, заздравную чару!..»

— Бог зна-е-ет, что с нами случится, — подтянул пьяный засыпающий Микула.

— Товарищ больной, прошу вас не петь на собрании, — вежливо попросил председатель, — продолжайте, товарищ оратор.

— «Помолимся, — продолжал оратор, — помолимся Творцу, мы к рюмочке приложимся, потом и к огурцу», «господин городовой, будьте вежливы со мной, отведите меня в часть, чтобы в грязь мне не упасть», «неприличными словами прошу не выражаться и на чай не выдавать», «февраля двадцать девятого выпил штоф вина проклятого», «ежедневно свежие раки», «через тумбу, тумбу раз»…

— Куда?! — вдруг рявкнул председатель.

Пять человек вдруг, крадучись, вылезли из рядов и шмыгнули в дверь.

— Не выдержали речи, — пояснила восхищенная масса, — красноречиво убедил. В пивную бросились, пока не закрыли.

— Итак! — гремел оратор, — вы видите, насколько глубоко пронизала нас социальная болезнь. Но вы не смущайтесь, товарищи. Вот, например, наш знаменитый самородок Ломоносов восемнадцатого века в высшей степени любил поставить банку, а, однако, вышел первоклассный ученый и товарищ, которому даже памятник поставили у здания Университета на Моховой улице. Я бы еще мог привести выдающиеся примеры, но не хочу… Я заканчиваю, и приступаем к выборам…

ЭПИЛОГ

«…после чего рабочие массы выбрали в кандидаты месткома известного алкоголика, и на другой же день он сидел пьяный, как дым, на перроне и потешал зевак анекдотами, рассказывая, что разрешено пить, лишь бы не было вреда».

(Из того же письма рабкора)

Комментарии. В. И. Лосев

О пользе алкоголизма

Впервые — Гудок. 1925. 15 апреля. С подписью: «Из того же письма рабкора, Михаил».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Как Бутон женился

В управлении Юго-Западных провизионки выдают только женатым. Холостым — шиш. Стало быть, нужно жениться. Причем управление будет играть роль свахи.

Рабкор № 2626

А не думает ли барин жениться.

Н. В. Гоголь («Женитьба»)

Железнодорожник Валентин Аркадьевич Бутон-Нецелованный, человек упорно и настойчиво холостой, явился в административный отдел управления и вежливо раскланялся с провизионным начальством.

— Вам чего-с? Ишь ты, какой вы галстук устроили — горошком!

— Как же-с. Провизионочку пришел попросить.

— Так-с. Женитесь.

Бутон дрогнул:

— Как это?

— Очень просто. Загс знаете? Пойдете туды, скажете: так, мол, и так. Люблю ее больше всего на свете. Отдайте ее мне, в противном случае кинусь в Днепр или застрелюсь. Как вам больше нравится. Ну, зарегистрируют вас. Документики ее захватите, да и ее самое.

— Чьи? — спросил зеленый Бутон.

— Ну, Варенькины, скажем.

— Какой… Варенькины?..

— Машинистки нашей.

— Не хочу, — сказал Бутон.

— Чудачина. Желая добра тебе говорю. Пойми в своей голове. Образ жизни будешь вести! Ты сейчас что по утрам пьешь?

— Пиво, — ответил Бутон.

— Ну, вот. А тогда шоколад будешь пить или какао!

Бутона слегка стошнило.

— Ты глянь на себя в зеркало Управления Юго-Западных железных дорог. На что ты похож? Галстук, как бабочка, а рубашка грязная. На штанах пуговицы нет, — ведь это ж безобразие холостяцкое! А женишься, — глаза не успеешь продрать, тут перед тобой супруга: не желаете ли чего? Как твое имя, отчество?

— Валентин Аркадьевич…

— Ну, вот, Валюша, стало быть, или Валюн. И будет тебе говорить: не нужно ли тебе чего, Валюн, не нужно ли другого, не нужно ли тебе, Валюша, кофейку, Валюте — то, Валюте — другое… Взбесишься прямо!.. То есть что это я говорю?.. не будешь знать, в раю ты или в Ю.-З. же-де!

— У ней зуб вставной!

— Вот дурак, прости Господи. Зуб! Да разве зуб — рука или нога? Да при этом ведь золотой же зуб! Вот чудачина, его в крайнем случае в ломбард можно заложить. Одним словом, пиши заявление о вступлении в законный брак. Мы тебя и благословим. Через год зови на октябрины, выпьем!

— Не хочу! — закричал Бутон.

— Ну ладно, вижу, вы упрямец. Вам хоть кол на голове теши. Как угодно. Прошу не задерживать занятого человека.

— Провизионочку позвольте.

— Нет!

— На каком основании?

— Не полагается вам.

— А почему Птюхину дали?

— Птюхин почише тебя, он женатый!

— Стало быть, мне без провизии с голоду подыхать?

— Как угодно, молодой человек.

— Это что же такое выходит, — забормотал Бутон, меняясь в лице. — Мне нужно или жизни лишиться с голоду, или свободы моей драгоценной?!

— Вы не кричите.

— Берите! — закричал Бутон, впадая в истерику, — жените, ведите меня в загс, ешьте с кашей!! — и стал рвать на себе сорочку.

— Кульер! Зови Вареньку! Товарищ Бутон предложение им будет делать руки и сердца.

— А чего они воют? — осведомился курьер.

— От радости ошалел. Перемена жизни в казенном доме.

Комментарии. В. И. Лосев

Как Бутон женился

Впервые — Гудок. 1925. 28 апреля. С подписью: «Михаил».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Смычкой по черепу

В основе фельетона — истинное про-

исшествие, описанное рабкором № 742

Дождалось наконец радости одно из сел Червонного, Фастовского района, что на Киевщине! Сам Сергеев, представитель райисполкома, он же заместитель предместкома, он же голова охраны труда ст. Фастов, прибыл устраивать смычку с селянством.

Как по радио стукнула весть о том, что сего числа Сергеев повернется лицом к деревне!

Селяне густыми косяками пошли в хату-читальню. Даже 60-летний дед Омелько (по профессии — середняк), вооружившись клюкой, приплелся на общее собрание.

В хате яблоку негде было упасть; дед приткнулся в уголочке, наставил ухо трубой и приготовился к восприятию смычки.

Гость на эстраде гремел, как соловей в жимолости. Партийная программа валилась из него крупными кусками, как из человека, который глотал ее долгое время, но совершенно не прожевывал.

Селяне видели энергичную руку, заложенную за борт куртки, и слышали слова:

— Больше внимания селу… Мелиорация… Производительность… Посевкампания… середняк и бедняк… дружные усилия… мы к вам… вы к нам… посевматериал… район… это гарантирует, товарищи… семенная ссуда… Наркомзем… Движение цен… Наркомпрос… Тракторы… Кооперация… облигации…

Тихие вздохи порхали по хате. Доклад лился, как река. Докладчик медленно поворачивался боком; и, наконец, совершенно повернулся к деревне. И первый предмет, бросившийся ему в глаза в этой деревне, было огромное и сморщенное ухо деда Омельки, похожее на граммофонную трубу. На лице у деда была напряженная дума.

Все на свете кончается, кончился и доклад. После аплодисментов наступило несколько натянутое молчание. Наконец встал председатель собрания и спросил:

— Нет ли у кого вопросов к докладчику?

Докладчик горделиво огляделся: нет, мол, такого вопроса на свете, на который бы я не ответил!

И вот произошла драма. Загремела клюка, встал дед Омелько и сказал:

— Я просю, товарищи, чтоб товарищ смычник по-простому рассказал свой доклад, бо я ничего не понял.

Учинив такое неприличие, дед сел на место. Настала гробовая тишина, и видно было, как побагровел Сергеев. Прозвучал его металлический голос:

— Это что еще за индивидуум?..

Дед обиделся:

— Я не индююм… Я — дед Омелько.

Сергеев повернулся к председателю:

— Он член комитета незаможников?

— Нет, не член, — сконфуженно отозвался председатель.

— Ага! — хищно воскликнул Сергеев, — стало быть, кулак?!

Собрание побледнело.

— Так вывести же его вон!! — вдруг рявкнул Сергеев и, впав в исступление и забывчивость, повернулся к деревне не лицом, а совсем противоположным местом.

Собрание замерло. Ни один не приложил руку к дряхлому деду, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не выручил докладчика секретарь сельской рады Игнат. Как коршун, налетел секретарь на деда и, обозвав его «сукиным дедом», за шиворот поволок его из хаты-читальни.

Когда вас волокут с торжественного собрания, мудреного нет, что вы будете протестовать. Дед, упираясь ногами в пол, бормотал:

— Шестьдесят лет прожил на свете, не знал, что я кулак… а также спасибо вам за смычку!

— Ладно, — пыхтел Игнат, — ты у меня поразговариваешь. Ты у меня разговоришься. Я тебе докажу, какой ты элемент.

Способ доказательства Игнат избрал оригинальный. Именно, вытащив деда во двор, урезал его по затылку чем-то настолько тяжелым, что деду показалось, будто бы померкнуло полуденное солнце и на небе выступили звезды.

Неизвестно, чем доказал Игнат деду. По мнению последнего (а ему виднее, чем кому бы то ни было), это была резина.

На этом смычка с дедом Омелькой и закончилась.

Впрочем, не совсем. После смычки дед оглох на одно ухо.

* * *

Знаете что, тов. Сергеев? Я позволяю себе дать вам два совета (они также относятся и к Игнату). Во-первых, справьтесь, как здоровье деда.

А во-вторых, смычка смычкой, а мужиков портить все-таки не следует. А то вместо смычки произойдут неприятности.

Для всех.

И для вас в частности.

Комментарии. В. И. Лосев

Смычкой по черепу

Впервые — Гудок. 1925. 27 мая. С подписью: «Михаил Булгаков».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Шпрехен зи дейтч?

В связи с прибытием в СССР многих иностранных делегаций усилился спрос на учебники иностранных языков. Между тем новых учебников мало, а старые неудовлетворительны по своему типу.

Металлист Щукин постучался к соседу своему по общежитию — металлисту Крюкову.

— Да, да, — раздалось за дверью.

И Щукин вошел, а войдя, попятился в ужасе — Крюков в одном белье стоял перед маленьким зеркалом и кланялся ему. В левой руке у Крюкова была книжка.

— Здравствуй, Крюков, — молвил пораженный Щукин, — ты с ума сошел?

— Наин, — ответил Крюков, — не мешай, я сейчас.

Затем отпрянул назад, вежливо поклонился окну и сказал:

— Благодарю вас, я уже ездил. Данке зер! Ну, пожалуйста, еще одну чашечку чаю, — предложил Крюков сам себе и сам же отказался: — Мерси, не хочу. Их виль… Фу, дьявол… Как его. Нихт, нихт! — победоносно повторил Крюков и выкатил глаза на Щукина.

— Крюков, миленький, что с тобой? — плаксиво спросил приятель, — опомнись.

— Не путайся под ногами, — задумчиво сказал Крюков и уставился на свои босые ноги. — Под ногами, под ногами, — забормотал он, — а как нога? Все вылетело. Вот леший… фусс, фусс! Впрочем, нога не встретится, нога — ненужное слово.

«Кончен парень, — подумал Щукин, — достукался, давно я замечал…»

Он робко кашлянул и пискнул:

— Петенька, что ты говоришь, выпей водицы.

— Благодарю, я уже пил, — ответил Крюков, — а равно и ел (он подумал), а равно и курил. А равно…

«Посижу, посмотрю, чтобы он в окно не выбросился, а там можно будет людей собрать. Эх, жаль, хороший был парень, умный, толковый…» — думал Щукин, садясь на край продранного дивана.

Крюков раскрыл книгу и продолжал вслух:

— Имеете ль вы трамвай, мой дорогой товарищ? Гм… Камрад (Крюков задумался). Да, я имею трамвай, но моя тетка тоже уехала в Италию. Гм… Тетка тут ни при чем. К чертовой матери тетку! Выкинем ее, майне танте. У моей бабушки нет ручного льва. Варум? Потому что они очень дороги в наших местах. Вот сукины сыны! Неподходящее! — кричал Крюков. — А любите ли вы колбасу? Как же мне ее не любить, если третий день идет дождь! В вашей комнате имеется ли

электричество, товарищ? Нет, но зато мой дядя пьет запоем уже третью неделю и пропил нашего водолаза. А где аптека? — спросил Крюков Щукина грозно.

— Аптека в двух шагах, Петенька, — робко шепнул Щукин.

— Аптека, — поправил Крюков, — мой добрый приятель, находится напротив нашего доброго мэра и рядом с нашим одним красивым садом, где мы имеем один маленький фонтан.

Тут Крюков плюнул на пол, книжку закрыл, вытер пот со лба и сказал по-человечески:

— Фу… здравствуй, Щукин. Ну, замучился, понимаешь ли.

— Да что ты делаешь, объясни! — взмолился Щукин.

— Да понимаешь ли, германская делегация к нам завтра приедет, ну, меня выбрали встречать и обедом угощать. Я, говорю, по-немецки ни в зуб ногой. Ничего, говорят, ты способный. Вот тебе книжка — самоучитель всех европейских языков. Ну и дали! Черт его знает, что за книжка!

— Усвоил что-нибудь?

— Да кое-что, только мозги свернул. Какие-то бабушки, покойный дядя… А настоящих слов нет.

Глаза Крюкова вдруг стали мутными, он поглядел на Щукина и спросил:

— Имеете ли вы кальсоны, мой сосед?

— Имею, только перестань! — взвыл Щукин, а Крюков добавил:

— Да, имею, но зато я никогда не видал вашей уважаемой невесты!

Щукин вздохнул безнадежно и убежал.

Комментарии. В. И. Лосев

Шпрехен зи дейтч?

Впервые — Бузотер. 1925. № 19. С подписью: «Тускарора».

Печатается по тексту журнала «Бузотер».

Угрызаемый хвост

У здания МУУРа стоял хвост.

— Ох-хо-хонюшки! Стоишь, стоишь…

— И тут хвост.

— Что поделаешь? Вы, позвольте узнать, бухгалтер будете?

— Нет-с, я кассир.

— Арестовываться пришли?

— Да как же!

— Дело доброе! А на сколько, позвольте узнать, вы изволили засыпаться?..

— На триста червончиков.

— Пустое дело, молодой человек. Один год. Но принимая во внимание чистосердечное раскаяние, и, кроме того, Октябрь не за горами. Так что в общей сложности просидите три месяца и вернетесь под сень струй.

— Неужели? Вы меня прямо успокаиваете. А то я в отчаянье впал. Пошел вчера советоваться к защитнику, — уж он пугал меня, пугал, статья, говорит, такая, что меньше чем двумя годами со строгой не отделаетесь.

— Брешут-с они, молодой человек. Поверьте опытности. Позвольте, куда ж вы? В очередь!

— Граждане, пропустите. Я казенные деньги пристроил! Жжет меня совесть…

— Тут каждого, батюшка, жжет, не один вы.

— Я, — бубнил бас, — казенную лавку Моссельпрома пропил.

— Хват ты. Будешь теперь знать, закопают тебя, раба Божия.

— Ничего подобного. А если я темный? А неразвитой? А наследственные социальные условия? А? А первая судимость? А алкоголик?

— Да какого ж черта тебе, алкоголику, вино препоручили?

— Я и сам говорил…

— Вам что?

— Я, гражданин милицмейстер, терзаемый угрызениями совести…

— Позвольте, что ж вы пхаетесь, я тоже терзаемый…

— Виноват, я с десяти утра жду, арестоваться.

— Говорите коротко, фамилию, учреждение и сколько.

— Фиолетов я, Миша. Терзаемый угрызениями…

— Сколько?

— В Махретресте — двести червяков.

— Сидорчук, прими гражданина Фиолетова.

— Зубную щеточку позвольте с собой взять.

— Можете. Вы сколько?

— Семь человек.

— Семья?

— Так точно.

— А сколько ж вы взяли?

— Деньгами двести, салоп, часы, подсвечники.

— Не пойму я, учрежденский салоп?

— Зачем? Мы учреждениями не занимаемся. Частное семейство — Штипельмана.

— Вы Штипельман?

— Да никак нет.

— Так при чем тут Штипельман?

— При том, что зарезали мы его. Я докладываю: семь человек — жена, пятеро детишек и бабушка.

— Сидорчук, Махрушин, примите меры пресечения!

— Позвольте, почему ему преимущества?

— Граждане, будьте сознательные, убийца он.

— Мало ли, что убийца. Важное кушанье! Я, может, учреждение подорвал.

— Безобразие. Бюрократизм. Мы жаловаться будем.

Комментарии. В. И. Лосев

Угрызаемый хвост

Впервые — Бузотер. 1925. № 20. С подписью: «Тускарора».

Печатается по тексту журнала «Бузотер».

Двуликий Чемс

На ст. Фастов ЧМС издал распоряжение о

том, чтобы ни один служащий не давал коррес-

понденции в газеты без его просмотра.

А когда об этом узнал корреспондент, ЧМС

испугался и спрятал книгу распоряжений под

замок.

Рабкор 742

— Я пригласил вас, товарищи, — начал Чемс, — с тем, чтобы сообщить вам пакость: до моего сведения дошло, что многие из вас в газеты пишут?

Приглашенные замерли.

— Не ожидал я этого от моих дорогих сослуживцев, — продолжал Чемс горько. — Солидные такие чиновники… то бишь служащие… И не угодно ли… Ай, ай, ай, ай, ай!

И Чемсова голова закачалась, как у фарфорового кота.

— Желал бы я знать, какой это пистолет наводит тень на нашу дорогую станцию? То есть ежели бы я это знал…

Тут Чемс пытливо обвел глазами присутствующих.

— Не товарищ ли это Бабкин?

Бабкин позеленел, встал и сказал, прижимая руку к сердцу:

— Ей-Богу… честное слово… клянусь… землю буду есть… икону сыму… Чтоб я не дождался командировки на курорт… чтоб меня уволили по сокращению штатов… если это я!

В речах его была такая искренность, сомневаться в которой было невозможно.

— Ну тогда, значит, Рабинович?

Рабинович отозвался немедленно:

— Здравствуйте! Чуть что, сейчас — Рабинович. Ну, конечно, Рабинович во всем виноват! Крушение было — Рабинович. Скорый поезд опоздал на восемь часов — тоже Рабинович. Спецодежду задерживают — Рабинович! Гинденбурга выбрали — Рабинович? И в газеты писать — тоже Рабинович? А почему это я, Рабинович, а не он, Азеберджаньян?

Азеберджаньян ответил:

— Не ври, пожалста! У меня даже чернил нету в доме. Только красное азербейджанское вино.

— Так неужели это Бандуренко? — спросил Чемс.

Бандуренко отозвался:

— Чтоб я издох!..

— Странно. Полная станция людей, чуть не через день какая-нибудь этакая корреспонденция, а когда спрашиваешь: «Кто?» — виновного нету. Что ж, их святой дух пишет?

— Надо полагать, — молвил Бандуренко.

— Вот я б этого святого духа, если бы он только мне попался! Ну ладно, Иван Иваныч, читайте им приказ, и чтоб каждый расписался!

Иван Иванович встал и прочитал:

«Объявляю всем служащим вверенного мне… мною замечено… обращаю внимание… недопустимость… и чтоб не смели, одним словом…»

* * *

С тех пор станция Фастов словно провалилась сквозь землю. Молчание.

— Странно, — рассуждали в столице, — большая такая станция, а между тем ничего не пишут. Неужели там у них никаких происшествий нет? Надо будет послать к ним корреспондента.

* * *

Вошел курьер и сказал испуганно:

— Там до вас, товарищ Чемс, корреспондент приехал.

— Врешь, — сказал Чемс, бледнея, — не было печали! То-то мне всю ночь снились две большие крысы… Боже мой, что теперь делать?.. Гони его в шею… То бишь проси его сюда… Здрасьте, товарищ… Садитесь, пожалуйста. В кресло садитесь, пожалуйста. На стуле вам слишком твердо будет. Чем могу служить? Приятно, приятно, что заглянули в наши отдаленные Палестины!

— Я к вам приехал связь корреспондентскую наладить.

— Да Господи! Да Боже ж мой! Да я же полгода бьюсь, чтобы наладить ее, проклятую. А она не налаживается. Уж такой народ. Уж до чего дикий народ, я вам скажу по секрету, прямо ужас. Двадцать тысяч раз им твердил: «Пишите, черти полосатые, пишите!» — ни черта они не пишут, только пьянствуют. До чего дошло: несмотря на то, что я перегружен работой, как вы сами понимаете, дорогой товарищ, сам им предлагал: «Пишите, — говорю, — ради всего святого, я сам вам буду исправлять корреспонденции, сам помогать буду, сам отправлять буду, только пишите, чтоб вам ни дна, ни покрышки». Нет, не пишут! Да вот я вам сейчас их позову, полюбуйтесь сами на наше фастовское народонаселение. Курьер, зови служащих ко мне в кабинет.

Когда все пришли, Чемс ласково ухмыльнулся одной щекой корреспонденту, а другой служащим и сказал:

— Вот, дорогие товарищи, зачем я вас пригласил. Извините, что отрываю от работы. Вот, товарищ корреспондент прибыл из центра, просить вас, товарищи, чтобы вы, товарищи, не ленились корреспондировать нашим столичным товарищам. Неоднократно я уже просил вас, товарищи…

— Это не мы! — испуганно ответили Бабкин, Рабинович, Азеберджаньян и Бандуренко.

— Зарезали, черти! — про себя воскликнул Чемс и продолжал вслух, заглушая ропот народа: — Пишите, товарищи, умоляю вас, пишите! Наша союзная пресса уже давно ждет ваших корреспонденции, как манны небесной, если можно так выразиться? Что же вы молчите?

Народ безмолвствовал.

Комментарии. В. И. Лосев

Двуликий Чемс

Впервые — Гудок. 1925. 2 июня. С подписью: «Михаил Б.».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Работа достигает 30 градусов

Общее собрание транспортной комячейки

ст. Троицк Сам. — Злат. не состоялось 20 апреля,

так как некоторые партийцы справляли Пасху

с выпивкой и избиением жен.

Когда это происшествие обсуждалось на бли-

жайшем собрании, выступил член бюро ячейки

и секретарь месткома и заявил, что пить можно,

но надо знать и уметь как.

Рабкор Зубочистка

Одинокий человек сидел в помещении комячейки на станции ИКС и тосковал.

— В высшей степени странно. Собрание назначено в пять часов, а сейчас половина девятого. Что-то ребятишки стали опаздывать.

Дверь впустила еще одного.

— Здравствуй, Петя, — сказал вошедший, — кворум изображаешь? Изображай. Голосуй, Петро!

— Ничего не понимаю, — отозвался первый, — Банкина нету, Кружкина нет.

— Банкин не придет.

— Почему?

— Он пьян.

— Не может быть!

— И Кружкин не придет.

— Почему?

— Он пьян.

— Ну, а где же остальные?

Наступило молчание. Вошедший стукнул себя пальцем по галстуку.

— Неужели?

— Я не буду скрывать от тебя русскую горькую правду, — пояснил второй, — все пьяны. И Горошков, и Сосискин, и Мускат, и Корнеевский, и кандидат Горшаненко. Закрывай, Петя, собрание!

Они потушили лампу и ушли во тьму.

* * *

Праздники кончились, поэтому собрание было полноводно.

— Дорогие товарищи, — говорил Петя с эстрады, — считаю, что такое положение дел недопустимо. Это позор! В день Пасхи я лично сам видел нашего уважаемого товарища Банкина, каковой Банкин вез свою жену…

— Гулять я ее вез, мою птичку, — елейным голосом отозвался Банкин.

— Довольно оригинально вы везли, Банкин! — с негодованием воскликнул Петя. — Супруга ваша ехала физиономией по тротуару, а коса ее находилась в вашей уважаемой правой руке!

Ропот прошел среди непьющих.

— Я хотел взять локон ее волос на память! — растерянно крикнул Банкин, чувствуя, как партбилет колеблется в его кармане.

— Локон? — ядовито спросил Петя, — я никогда не видел, чтобы при взятии локона на память женщину пинали ногами в спину на улице!

— Это мое частное дело, — угасая, ответил Банкин, ясно ощущая ледяную руку укома на своем билете.

Ропот прошел по собранию.

— Это, по-вашему, частное дело? Нет-с, дорогой Банкин, это не частное! Это свинство!!

— Прошу не оскорблять! — крикнул наглый Банкин.

— Вы устраиваете скандалы в публичном месте и этим бросаете тень на всю ячейку! И подаете дурной пример кандидатам и беспартийным! Значит, когда Мускат бил стекла в своей квартире и угрожал зарезать свою супругу — и это частное дело? А когда я встретил Кружкина в пасхальном виде, то есть без правого рукава и с заплывшим глазом?! А когда Горшаненко на всю улицу крыл всех встречных по матери — это частное дело?!

— Вы подкапываетесь под нас, товарищ Петя, — неуверенно крикнул Банкин.

Ропот прошел по собранию.

— Товарищи. Позвольте мне слово, — вдруг звучным голосом сказал Всемизвестный (имя его да перейдет в потомство). — Я лично против того, чтобы этот вопрос ставить на обсуждение. Это отпадает, товарищи. Позвольте изложить точку зрения. Тут многие дебатируют: можно ли пить? В общем и целом пить можно, но только надо знать, как пить!

— Вот именно!! — дружно закричали на алкогольной крайней правой.

Непьющие ответили ропотом.

— Тихо надо пить, — объявил Всемизвестный.

— Именно, — закричали пьющие, получив неожиданное подкрепление.

— Купил ты, к примеру, три бутылки, — продолжал Всемизвестный, — и…

— Закуску!!

— Тиш-ше!!

— …Да, и закуску…

— Огурцами хорошо закусывать…

— Тиш-ше!..

— Пришел домой, — продолжал Всемизвестный, — занавески на окнах спустил, чтобы шпионские глаза не нарушили домашнего покоя, пригласил приятеля, жена тебе селедочку очистит, сел, пиджак снял, водочку поставил под кран, чтобы она немножко озябла, а затем, значит, не спеша, на один глоток налил…

— Однако, товарищ Всемизвестный! — воскликнул пораженный Петя. — Что вы такое говорите?!

— И никому ты не мешаешь, и никто тебя не трогает, — продолжал Всемизвестный. — Ну, конечно, может у тебя выйти недоразумение с женой, после второй бутылки, скажем. Так не будь же ты ослом. Не тащи ты ее за волосы на улицу! Кому это нужно! Баба любит, чтобы ее били дома. И не бей ты ее по физиономии, потому что на другой день баба ходит по всей станции с синяками — и все знают. Бей ты ее по разным сокровенным местам! Небось, не очень-то пойдет хвастаться.

— Браво!! — закричали Банкин, Закускин и К.

Аплодисменты загремели на водочной стороне.

Встал Петя и сказал:

— За все свое время я не слыхал более возмутительной речи, чем ваша, товарищ Всемизвестный, и имейте в виду, что я о ней сообщу в «Гудок». Это неслыханное безобразие!!

— Очень я тебя боюсь, — ответил Всемизвестный. — Сообщай!

И конец истории потонул в выкриках собрания.

Комментарии. В. И. Лосев

Работа достигает 30 градусов

Впервые — Гудок. 1925. 4 июня. С подписью: «Михаил Б.».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Мертвые ходят

У котельщика 2 уч. ел. тяга Север-

ных умер младенец. Фельдшер потре-

бовал принести ребенка к себе, чтобы

констатировать смерть.

Рабкор № 2121

I

Приемный покой. Клиентов принимает фельдшер.

Входит котельщик 2-го участка службы тяги. Печален.

— Драсте, Федор Наумович, — говорит котельщик траурным голосом.

— А, драсте. Скидайте тужурку.

— Слушаю, — отвечает котельщик изумленно и начинает расстегивать пуговицы, — у меня видите ли…

— После поговорите. Рубашку скидайте.

— Брюки снимать, Федор Наумович?

— Брюки не надо. На что жалуетесь?

— Дочка у меня померла.

— Гм. Надевайте тужурку. Чем же я могу быть полезен? Царство ей небесное. Воскресить я ее не в состоянии. Медицина еще не дошла.

— Удостоверение требуется. Хоронить надо.

— А… констатировать, стало быть… Что ж, давай ее сюда.

— Помилуйте, Федор Наумович. Мертвенькая. Лежит. А вы живой.

— Я живой, да один. А вас, мертвых, — бугры. Ежели я за каждым буду бегать, сам ноги протяну. А у меня дело — видишь, порошки кручу. Адье.

— Слушаюсь.

II

Котельщик нес гробик с девочкой. За котельщиком шли две голосящие бабы.

— К попу, милые, несете?

— К фельдшеру, товарищи. Пропустите!

III

У ворот приемного покоя стоял катафалк с гробом. Возле него личность в белом цилиндре и с сизым носом, и с фонарем в руках.

— Чтой-то товарищи? Аль фельдшер помер?

— Зачем фельдшер? Весовщикова мамаша Богу душу отдала.

— Так чего ж ее сюда привезли?

— Констатировать будет.

— А-а… Ишь ты.

IV

— Тебе что?

— Я, изволите ли видеть, Федор Наумович, помер.

— Когда?

— Завтра к обеду.

— Чудак! Чего ж ты заранее притащился? Завтра б после обеда и привезли тебя.

— Я, видите ли, Федор Наумович, одинокий. Привозить-то меня некому. Соседи говорят, сходи заранее, Пафнутьич, к Федору Наумовичу, запишись, а то завтра возиться с тобой некогда. А больше дня ты все равно не протянешь.

— Гм. Ну ладно. Я тебя завтрашним числом запишу.

— Каким хотите, вам виднее. Лишь бы в страхкассе выдали. Делов-то еще много. К попу надо завернуть, брюки опять же я хочу себе купить, а то в этих брюках помирать неприлично.

— Ну, дуй, дуй! Расторопный ты старичок.

— Холостой я, главная причина. Обдумать-то меня некому.

— Ну, валяй, валяй. Кланяйся там, на том свете.

— Передам-с.

Комментарии. В. И. Лосев

Мертвые ходят

Впервые — Гудок. 1925. 25 сентября. С подписью: «Эмма Б.».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

«Вода жизни»

Станция Сухая Канава дремала в сугробах. В депо вяло пересвистывались паровозы. В железнодорожном поселке тек мутный и спокойный зимний денек.

Все, что здесь доступно оку (как говорится),

Спит, покой ценя…

В это-то время к железнодорожной лавке и подполз, как тать, плюгавый воз, таинственно закутанный в брезент. На брезенте сидела личность в тулупе, и означенная личность, подъехав к лавке, загадочно подмигнула. Двух скучных людей, торчащих у дверей, вдруг ударило припадком. Первый нырнул в карман, и звон серебра огласил окрестности. Второй заплясал на месте и захрипел:

— Ванька, не будь сволочью, дай рупь шестьдесят две!..

— Отпрыгни от меня моментально! — ответил Ванька, с треском отпер дверь лавки и пропал в ней.

Личность, доставившая воз, сладострастно засмеялась и молвила:

— Соскучились, ребятишки?

Из лавки выскочил некий в грязном фартуке и завыл:

— Что ты, черт тебя возьми, по главной улице приперся? Огородами не мог объехать?

— Агародами… Там сугробы, — начала личность огрызаться и не кончила. Мимо нее проскочил гражданин без шапки и с пустыми бутылками в руке.

С победоносным криком: «Номер первый — ура!!!» — он влип в дверях во второго гражданина в фартуке, каковой гражданин ему отвесил:

— Что б ты сдох! Ну, куда тебя несет? Вторым номером встанешь! Успеешь! Фаддей — первый, он дежурил два дня.

Номер третий летел в это время по дороге к лавке и, бухая кулаками во все окошки, кричал:

— Братцы, очишанное привезли!..

Калитки захлопали.

Четвертый номер вынырнул из ворот и брызнул к лавке, на ходу застегивая подтяжки. Пятым номером вдавился в лавку мастер Лукьян, опередив на полкорпуса местного дьякона (шестой номер). Седьмым пришла в красивом финише жена Сидорова, восьмым — сам Сидоров, девятым, Пелагеин племянник, бросивший на пять саженей десятого — помощника начальника станции

Колочука, показавшего 32 версты в час, одиннадцатым — неизвестный в старой красноармейской шапке, а двенадцатого личность в фартуке высадила за дверь, рявкнув:

— Организуй на улице!

* * *

Поселок оказался и люден, и оживлен. Вокруг лавки было черным-черно. Растерянная старушонка с бутылкой из-под постного масла бросалась с фланга на организованную очередь повторными атаками.

— Анафемы! Мне ваша водка не нужна, мяса к обеду дайте взять! — кричала она, как кавалерийская труба.

— Какое тут мясо! — отвечала очередь. — Вон старушку с мясом!

— Плюнь, Пахомовиа, — говорил женский голос из оврага, — теперь ничего не сделаешь! Теперича, пока водку не разберут…

— Глаз, глаз выдушите, куда ж ты прешь!

— В очередь!

— Выкиньте этого, в шапке, он сбоку залез!

— Сам ты мерзавец!

— Товарищи, будьте сознательны!

— Ох, не хватит…

— Попрошу не толкаться, я — начальник станции!

— Насчет водки — я сам начальник!

— Алкоголик ты, а не начальник!

* * *

Дверь ежесекундно открывалась, из нее выжимался некий с счастливым лицом и двуми бутылками, а второго снаружи вжимало с бутылками пустыми. Трое в фартуках, вытирая пот, таскали из ящиков с гнездами бутылки с сургучными головками, принимали деньги.

— Две бутылочки.

— Три двадцать четыре! — вопил фартук, — что кроме?

— Сельдей четыре штуки…

— Сельдей нету!

— Колбасы полтора фунта…

— Вася, колбаса осталась?

— Вышла!

— Колбасы уже нет, вышла!

— Так что ж есть?

— Сыр русско-швейцарский, сыр голландский…

— Давай русско-голландского полфунта…

— Тридцать две копейки? Три пятьдесят шесть! Сдачи сорок четыре копейки! Следующий!

— Две бутылочки…

— Какую закусочку?

— Какую хочешь. Истомилась моя душенька…

— Ничего, кроме зубного порошка, не имеется.

— Давай зубного порошка две коробки!

— Не желаю я вашего ситца!

— Без закуски не выдаем.

— Ты что ж, очумел, какая же ситец закуска?

— Как желаете…

— Чтоб ты на том свете ситцем закусывал!

— Попрошу не ругаться!

— Я не ругаюсь, я только к тому, что свиньи вы! Нельзя же, нельзя ж, в самом деле, народ ситцем кормить!

— Товарищ, не задерживайте!

Двести пятнадцатый номер получил две бутылки и фунт синьки, двести шестнадцатый — две бутылки и флакон одеколону, двести семнадцатый — две бутылки и пять фунтов черного хлеба, двести восемнадцатый — две бутылки и два куска туалетного мыла «Аромат девы», двести девятнадцатый — две и фунт стеариновых свечей, двести двадцатый — две и носки, да двести двадцать первый получил шиш.

Фартуки вдруг радостно охнули и закричали:

— Вся!

После этого на окне выскочила надпись «Очищенного вина нет», и толпа на улице ответила тихим стоном…

* * *

Вечером тихо лежали сугробы, а на станции мигал фонарь. Светились окна домишек, и шла по разъезженной улице какая-то фигура, и тихо пела, покачиваясь:

Все, что здесь доступно оку,

Спит, покой ценя…

Комментарии. В. И. Лосев

«Вода жизни»

Впервые — Гудок. 1925. 18 декабря. С подписью: «Незнакомец».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Колесо судьбы

Два друга жили на станции. И до того дружили, что вошли в пословицу.

Про них говорили:

— Посмотрите, как живут Мервухин с Птолемеевым! Прямо как Полкан с Барбосом. Слезы льются, когда глядишь на их мозолистые лица.

Оба были помощниками начальника станции. И вот в один прекрасный день является Мервухин и объявляет Барбосу… то бишь Птоломееву, весть:

— Дорогой друг, поздравь! Меня прикрепили!

Когда друзья отрыдались, выяснились подробности. Мервухина выбрали председателем месткома, а Птоломеева — секретарем.

— Оценили Мервухина! — рыдал Мервухин счастливыми слезами. — И двенадцать целковых положили жалованья.

— А мне? — спросил новоиспеченный секретарь Птоломеев, переставая рыдать.

— А тебе, Жан, ничего, — пояснил предместкома, — па зэн копек, как говорят французы, тебе только почет.

— Довольно странно, — отозвался новоиспеченный секретарь, и тень легла на его профсоюзное лицо.

Друзья завертели месткомовскую машинку.

И вот однажды секретарь заявил председателю:

— Вот что, Ерофей. Ты, позволь тебе сказать по-дружески, — ты хоть и предместкома, а свинья.

— То есть?

— Очень просто. Я ведь тоже работаю.

— Ну и что?

— А то, что ты должен уделить мне некоторую часть из двенадцати целковых.

— Ты находишь? — суховато спросил Мервухин предместкома. — Ну, ладно, я тебе буду давать четыре рубля или, еще лучше, три.

— А почему не пять?

— Ну, ты спроси, почему не десять?!

— Ну, черт с тобой, жада-помада. Согласен.

Настал момент получения. Мервухин упрятал в бумажник двенадцать целковых и спросил Птоломеева:

— Ты чего стоишь возле меня?

— Три рубля, Ероша, хочу получить.

— Какие три? Ах, да, да, да… Видишь ли, друг, я тебе их как-нибудь потом дам — пятнадцатого числа или же в пятницу… А то, видишь ли, мне сейчас… самому нужно…

— Вот как? — сказал, ошеломленно улыбаясь, Птоломеев. — Так-то вы держите ваше слово, сэр?

— Я попрошу вас не учить меня.

— Бога ты боишься?

— Нет, не боюсь, его нету, — ответил Мервухин.

— Ну, зто свинство с твоей стороны!

— Попрошу не оскорблять!

— Я не оскорбляю, а просто говорю, что так поступают только сволочи.

— Вот тебе святой крест, — сказал Мервухин, — я общему собранию пожалуюсь, что ты меня при исполнении служебных обязанностей…

— Какие же это служебные обязанности? Зажал у товарища три целковых…

— Попрошу оставить меня в покое, господин Птоломеев.

— Господа все в Париже, господин Мервухин.

— Ну, и ты туда поезжай!

— А ты, знаешь, куда поезжай?!

— Вот только скажи. Я на тебя протокол составлю, что ты в присутственном месте выражаешься…

— Ну, ладно же, — сказал багровый Птоломеев. — Я тебе это попомню!

— Попомни.

* * *

Был солнечный день, когда повернулось колесо судьбы. Вошел Птоломеев, и фуражка его горела, как пламя.

— Здравствуйте, дорогой товарищ Мервухин, — сказал зловещим голосом Птоломеев.

— Здравствуйте, — иронически сказал Мервухин.

— Привстать нужно, гражданин Мервухин, при входе начальника, — сказал Птоломеев.

— Хи-хи. Угорел? Какой ты мне начальник?

— А вот какой: приказом от сего числа назначен временно исполняющим обязанности начальника станции.

— Поздравляю… — растерянно сказал Мервухин и добавил: — Да, кстати, Жанчик, я тебе три рубля хотел отдать, да вот все забываю.

— Нет, мерси, зачем вам беспокоиться, — отозвался Птоломеев. — Кстати, о трех рублях. Потрудитесь сдать ваше дежурство и очистить станцию от своего присутствия. Я снимаю вас с должности.

— Ты шутишь?

— По инструкции шутить не полагается при исполнении служебных обязанностей. Плохо знаете службу, товарищ Мервухин. Попрошу вас встать!!

— Крест-то на тебе есть?

— Нет. Я в Союзе безбожников, — ответил Птоломеев.

— Ну, знаешь, видал я подлецов, но таких…

— Это вы мне?

— Тебе.

— Начальнику станции? Го-го! Ты видишь, я в красной фуражке?

— В данном случае ты — гнида в красной фуражке.

— А если я вам за такие слова дам по морде?

— Сдачи получите! — сказал хрипло Мервухин.

— С какой дачи?

— А вот с какой!..

И тут Мервухин, не выдержав наглого взора Птоломеева, ударил его станционным фонарем по затылку.

Странным зрелищем любовались обитатели станции через две минуты. Прикрепленный председатель месткома сидел верхом на временно исполняющем должность начальника станции и клочья разорванной его красной фуражки засовывал ему в рот со словами:

— Подавись тремя рублями! Гад!

* * *

— Помиримся, Жанчик, — сказал Мервухин на следующий день, глядя заплывшим глазом, — вышибли меня из месткома.

— Помиримся, Ерофей, — отозвался Птоломеев, — и меня выставили из начальников.

И друзья обнялись.

С тех пор на станции опять настали ясные времена.

Комментарии. В. И. Лосев

Колесо судьбы

Впервые — Гудок. 1926. 3 августа. С подписью: «Михаил».

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Таракан

Ах, до чего замечательный город Москва! Знаменитый город! И сапоги знаменитые!

Эти знаменитые сапоги находились под мышкой у Василия Рогова. А сам Василий Рогов находился при начале Новинского бульвара, у выхода со Смоленского рынка. День был серый, с небом, похожим на портянку, и даже очень легко моросило. Но никакой серости не остановить смоленского воскресенья! От Арбата до Новинского стоял табор с шатрами. Восемь гармоний остались в тылу у Василия Рогова, и эти гармонии играли разное, отравляя душу веселой тоской. От Арбата до первых чахнувших деревьев в три стены стоял народ и торговал вразвал чем ни попало: и Львом Толстым, босым и лысым, и гуталином, и яблоками, штанами в полоску, квасом и Севастопольской обороной, черной смородиной и коврами.

Если у кого деньги, тот чувствует себя, как рыба в море, на Смоленском рынке. Искупался Василий Рогов в океане и поплыл с сапогами и финским ножом. Сапоги — это понятно. Сапоги давно нужно было купить, ну а финский нож к чему? Купился он сам собой как-то.

Когда Рогов отсчитал два червя за сапоги в палатке, вырос из-под земли человек с кривым глазом и почему-то в генеральской шинели и заметил гнусаво:

— Сапоги купили, папаша! Отличные сапоги. Ну а такой финский нож вы видали?

И тот сверкнул перед Роговым убийственной сталью…

— Не нужно, — сказал Рогов, уминая под мышку сапоги.

— Шесть рублей финка стоит, — сообщил человек, — а отдаю за четыре, и только по случаю ликвидации лавки.

— Никакой у тебя лавки нет, — возразил с презрением Рогов и подумал: «Сколько этих жуликов на Смоленском! Ах, Боже мой!»

— Таким ножом, если махнуть человеку под ребро, — сладостно заговорил человек, пробуя пальцем коварное лезвие, — то любого можно зарезать.

— Ты смотри, тут и милиционеры есть, — ответил Рогов, пробираясь в чаще спин.

— Берите ножик, отец, за три с полтиной, — гнусавил человек, и дыхание его коснулось крутой шеи Василия Рогова, получившего неизвестно за что в пекарне обидное прозвище Таракан. — Вы говорите цену, папаша! На Смоленском молчать не полагается.

В это время гармония запела марш и весь рынок залила буйною тоской.

— Рубль! — сказал, хихикнув, Таракан, чувствуя счастье благодаря сапогам.

— Берите! — крикнул человечишко и нож всунул в голенище новых Тараканових сапог.

И сам не зная как, Таракан выжал из-за пазухи кошелек, крепко зажал меж пальцами левой руки пять червонцев, — примеры всякие бывают на Смоленском рынке! — а правой выдернул желтый рубль.

Таким образом наградили Таракана финкой. Видимо, караулила пекаря беда.

Страшно расстроен был Таракан вследствие покупки ненужной вещи. «Что я, в самом деле, людей, что ли, резать им буду?» Поэтому пришлось Таракану зайти в пивную. Выпив две бутылки пива, Таракан почувствовал, что ножик не так уж не нужен. «Молодецкая вещь — финка», — подумал пекарь и вышел на Новинский бульвар.

До чего здесь было оживленно! Фотограф снимал на фоне экрана, изображающего Кремль над густой и синей Москва-рекой, девицу с розой в волосах. Стоял человек с трахомой и пел тоскливо и страшно. Китаец вертел погремушкой, и шел народ и назад, и вперед. И тут услышал Таракан необыкновенный голос, всем заявляющий громко и отчетливо:

— У меня денег воз — дядя из Японии привез.

А потом голос так сказал:

— А сам не кручу, не верчу, только денежки плачу.

И действительно, сам он не крутил. Деревянный восьмигранный волчок крутил тот, кто ставил. А ставить можно было на любой из восьми номеров. А номер на доске, а доска на обыкновенном ящике, а полукружием вокруг ящика мужчины.

— Игра, — заметил голос, — без обману и шансов. Каждый может выиграть жене на печенку, себе на самогонку. Детишкам на молочишко.

Как родной голос совсем звучал. Как дома. Потная молодая личность в кепке все ставила по три копейки на 8-й номер, а он все не выпадал. А потом, как выпал, — выдал голос кепке пятиалтынный. Кепка потной рукой поставила пятачок и — хлоп — 8! Двадцать пять копеек. Он — гривенник (кепка) — 8! Чудеса — подряд. Полтинник. Голосу хоть бы что, хоть дрогнул — платит и платит. Кепка опять гривенник на 8-й, только он уже не выпал. Нельзя же вечно!

Еще кто-то три копейки поставил на 2-й номер. А на волчке вышло 3.

— Эх, рядом надо было! — сказал кто-то.

— Не угадаешь.

Таракан уже был у самого ящика. Финку переложил из голенища за пазуху к кошелю для верности — все бывало на Новинском бульваре!

Кепка поставила гривенник на 7-й, выпал 7-й. Опять полтинник.

— За гривенник — даю полтинник, а за двугривенный — рубль! — равнодушно всех оповестил голос.

Таракан молодецки усмехнулся, бодрый от пива, и смеху ради поставил на 3-й номер три копейки, но вышел 5-й.

— Чем дальше играешь, тем игра веселей! — голос сказал.

Таракан пятачок мелкой медью поставил на 4-й номер и угадал. Голос выдал Таракану четвертак.

— Ишь ты! — шепнули в полукружии.

Таракан как-то удивился, сконфузился и гривенник бросил на 8-й. Теперь сердце в нем екнуло, пока волчок, качаясь, кривлялся на доске. И упало холодно. Не упал 8-й, а 1-й вместо него. Жаль стало почему-то гривенника. «Эх, не нужно было ставить, забрал бы четвертак и ушел. А тут казнись!»

Через четверть часа полукружие стало плотнее, гуще в два ряда. И все отшились, до того всех размахом забил Таракан. Теперь Таракан ничего не видел вокруг, только лепешки без глаз вместо лиц. Но лицо голоса видел отлично — на лице, словно постным маслом вымазанном, бритом с прыщом на скуле, были агатовые прехолодные глаза. Спокоен был голос, как лед. А Таракан оплывал. Не узнала бы Таракана родная мать. Постарел, углы губ обвисли, кожа на лице стала серая и нечистая, а водянистые глаза зашли к небу.

Таракан доигрывал пятый, последний червонец. Серый червонец, вылежавшийся за пазухой. Таракан вынул, и владелец ящика его разменял так: рваный рубль, новый рубль, зеленая трешка и тоненькая, как папиросная бумага, видавшая виды пятерка. Таракан поставил рубль, еще рубль, не взял. «Что ж я по рублю да по рублю?» — вдруг подумал и почувствовал, что падает в бездну. Трешку! И трешка не помогла. Тогда Таракан шлепнул пятерку, и все мимо поплыло по Новинскому бульвару, когда лапа голоса, похожая на воронью, махнула пятерку с доски. Никто не шелохнулся вокруг, весь мир был равнодушен к злостной Тараканову судьбе. Владелец же ящика вдруг снял доску, взял ее под одну мышку, а ящик под другую — и в сторону.

— Постой! — хрипло молвил Таракан и придержал голос за рукав. — Погоди-ка!

— Чего годить-то? — ответил голос. — Ставок больше нет. Домой пора.

— Еще сыграю, — чужим голосом заметил Таракан, вынул сапоги и сразу в тумане нашел покупателя.

— Купи сапоги, — сказал он и увидел, что продает сапоги той кепке, что первая начала игру. Кепка презрительно оттопырила губу, и тут поразился Таракан тому, что у кепки было такое же масляное лицо, как и у голоса.

— Сколько? — спросила кепка, постукивая по подошве расщепленным больным ногтем.

— Двадцать! — вымолвил Таракан.

— Двенадцать, — нехотя сказала кепка и повернулась уходить.

— Давай, давай! — отчаянно попросил Таракан.

Кепка, свистя через губу, крайне вяло вынула из кармана стального френча червь и два рубля и дала их Таракану. Ящик вернулся на место и легче немного стало Таракану. Он проиграл по рублю пять раз подряд. На счастливый 3-й номер поставил рубль и получил пять. Тут испуг червем обвил сердце Таракана. «Когда же я отыграюсь?» — подумал он и поставил пять на 6-й.

— Запарился парень! — далеко заметил кто-то.

Через минуту чисто было перед Тараканом. Ящик уплыл, доска уплыла, и люди разошлись. Бульвар жил, равнодушный к Таракану, китаец стрекотал погремушкой, а вдали переливались свистки — пора рынок кончать.

Воспаленными глазами окинул Таракан бульвар и ныряющей волчьей походкой догнал кепку, уносившую сапоги. Пошел рядом, кепка покосилась и хотела свернуть вон с бульвара.

— Нет, ты так не уходи! — не узнав своего голоса, молвил Таракан. — Как же это так?

— Чего тебе надо? — спросила кепка, и трусливо забегали его глаза.

— Ты какой же червонец мне дал за сапоги? А? Отвечай!

Свет отчаянья вдруг озарил Тараканову голову, и он все понял. На червонце было чернильное пятно, знакомое Таракану. Вчера это пятно на червонце получил Таракан в жалованье в пекарне. Он голосу проиграл этот червонец, как же он оказался у этого, кем звалась кепка, и Таракан понял, что она, кепка, заодно с голосом. Значит, червонец голос передал кепке? Не иначе.

— Отойди от меня, пьяница! — сурово сказала кепка.

— Я пьяница? — голос Таракана стал высок и тонок. — Я-то не пьяница. А вы сообщники, злодеи! — выкрикнул Таракан.

Прохожие брызнули в стороны.

— Я тебя не знаю! — неприязненно отозвалась кепка, и Таракан понял, что она ищет лаз в газоне.

Таракан вдруг заплакал навзрыд.

— Погубили меня, — содрогаясь, говорил он, — убили человека. Деньги профсоюзные… Мне их сдавать в кассу. Под суд идти! — Весь мир заволокло слезами, и кепка смягчилась.

— Что ты, голубчик? — задушевно заговорила она — Я сам, голубчик мой, проигрался. Сам лишился всего. Ты иди, проспись.

— Сапог мне не жалко, — мучаясь, выговорил Таракан, — а пятьдесят не мои. Делегат я. Сироту погубили. Жулики! — внезапно тоненько закричал Таракан. Кепка нахмурилась.

— Пошел ты от меня к чертовой матери! — рассердилась она лицом, а глаза по-прежнему бегали. — Я тебя в первый раз в жизни вижу.

— Верни этого с ящиком! — не помня себя, бормотал Таракан, наступая на кепку. — Подай мне его сейчас! А то я вас власти отдам! Куда же это милиция смотрит? — в ужасе спросил Таракан у любопытной старушечьей мордочки в платке.

Наложила на себя мордочка крестное знамение и мгновенно провалилась в газон. Мальчишки засвистели кругом, как соловьи.

— А ты дай ему, дай, что долго разговаривать! — посоветовал чей-то гнилой голос.

Кепкины глаза теперь ходуном ходили, вертелись, как мыши.

— Отцепись от меня, падаль! — сквозь зубы просвистела кепочка. — Никакого я ящика не видел.

— Врешь! Мошенник! Я вас насквозь вижу! — рыдающим голосом воскликнул Таракан. — Мои сапоги за мой же червонец купил!

— Что на них, свои клейма, что ли? — спросила кепочка и косо подалась в сторону. — Я их купил совсем у другого человека, высокого роста, с бельмом, а ты маленький — Т-таракан! Обознался, гражданин! — сладко заметила кепочка, улыбаясь любопытным зрителям одними постными щеками. — А теперь мне голову морочит. Ну, отойди, зараза! — вдруг фыркнула она кошачьим голосом и, как кошка, пошла — легко, легко. Клеш замотался над тупоносыми башмаками.

— Говорю, лучше остановись! — глухо бубнил Таракан, цепляясь за рукав. — Предаю тебя ответственности! Люди добрые…

— Эх, надоел! — сверкнув глазами, крикнула кепочка и сухим локтем ударила Таракана в грудь.

Воздуху Таракану не хватило. «Погибаю я, делегат злосчастный, — подумал он. — Уходит… злодей…»

— Ты остановишься? — белыми губами прошептал Таракан и поймал кошачий зрачок отчаянным своим глазом. В зрачке у кепки была уверенность, решимость, не боялась кепка коричневого малого Таракана. Вот сейчас вертушка-турникет, и улизнет кепочка с Новинского!

— Стой, стой, разбойник! — сипел Таракан, закручивая двумя пальцами левой руки скользкий рукав. Кепка молча летела к турникету. — Милиция-то где же? — задыхаясь, шепнул Таракан.

Таракан увидел мир в красном освещении. Таракан вынул финку и в неизбывной злобе легко ударил ею кепку в левый бок. Сапоги выпали из кепкиных рук на газон. Кепка завернулась на бок, и Таракан увидел ее лицо. На нем теперь не было и признаков масла, оно мгновенно высохло, похорошело, и мышиные глазки превратились в огромные черные сливы. Пена клоком вылезла изо рта. Кепка, хрипнув, возвела руки к небу и качнулась на Таракана.

— Ты драться?.. — спросил Таракан, отлично видя, что кепка драться не может, что не до драки кепке, не до сапог, ни до чего! — Драться?.. Ограбил и драться? — Таракан наотмашь кольнул кепку в горло, и пузыри выскочили розового цвета на бледных губах. Экстаз и упоение заволокли Таракана. Он полоснул кепку по лицу, и еще раз, когда кепка падала на траву, чиркнул по животу. Кепка легла в зеленую новинскую траву и заляпала ее пятнами крови. «Финка — знаменитая… вроде как у курицы, кровь человечья», — подумал Таракан.

Бульвар завизжал, заревел, и тысячные, как показалось, толпы запрыгали, заухали вокруг Таракана.

«Погиб я, делегат жалкий, — помыслил Таракан, — черная моя судьба. Кто ж это мне, дьявол, ножик продал, и зачем?»

Он швырнул финку в траву, прислушался, как кепка, вся в пузырях и крови, давится и умирает. Таракану стало жалко кепку и почему-то того жулика с ящиком… «Понятное дело… он на хлеб себе зарабатывает… Правда, жулик… но ведь каждый крутится, как волчок…»

— Не бейте меня, граждане, — тихо попросил пропащий Таракан, боли от удара не почувствовал, а только догадавшись по затемненному свету, что ударили по лицу, — не бейте, товарищи! Делегат я месткома пекарни № 13… Ох, не бейте. Профсоюзные деньги проиграл, жизнь загубил свою. Не бейте, а вяжите! — молвил Таракан, руками закрывая голову.

Над головой Таракана пронзительно, как волчки, сверлили свистки.

«Ишь, сколько милиции… Чрезвычайно много набежало, — думал Таракан, отдаваясь на волю чужим рукам, — раньше б ей надо было быть. А теперь все равно…»

— Пускай бьют, товарищ милицейский, — глотая кровь из раздавленного носа, равнодушно сказал Таракан, понимая только одно, что его влекут сквозь животы, что ноги его топчут, но уже по голове не бьют. — Мне это все равно. Я неожиданно человека зарезал вследствие покупки финского ножа.

«Как в аду, суматоха, — подумал Таракан, — а голос распорядительный…»

Голос распорядительный, грозный и слышный до Кудринских, ревел:

— Извозчик, я тебе покажу — отъезжать! Мерзавец… В отделение!!!

Комментарии. В. И. Лосев

Таракан

Впервые — Заря Востока. 1925. 23 августа.

Печатается по тексту газеты «Заря Востока».

Бубновая история

I. СОН И ГОСБАНК

Мохрикову в номере гостиницы приснился сон — громаднейший бубновый туз на ножках и с лентами на груди, на которых были написаны отвратительные лозунги: «Кончил дело — гуляй смело!» и «Туберкулезные, не глотайте мокроту!»

— Какая смешная пакость! Тьфу! — молвил Мохриков и очнулся. Бодро оделся, взял портфель и отправился в Госбанк. В Госбанке Мохриков мыкался часа два и вышел из него, имея в портфеле девять тысяч рублей.

Человек, получивший деньги, хотя бы и казенные, чувствует себя совершенно особенным образом. Мохрикову показалось, что он стал выше ростом на Кузнецком мосту.

— Не толкайтесь, гражданин, — сурово и вежливо сказал Мохриков и даже хотел прибавить: — У меня девять тысяч в портфеле, — но потом раздумал.

А на Кузнецком кипело, как в чайнике. Ежесекундно пролетали мягкие машины, в витринах сверкало, переливалось, лоснилось, и сам Мохриков отражался в них на ходу с портфелем то прямо, то кверху ногами.

— Упоительный городишко Москва, — начал размышлять Мохриков, — прямо элегантный город!

Сладостные и преступные мечтания вдруг пузырями закипели в мозгу Мохрикова:

— Вообразите себе, дорогие товарищи… вдруг сгорает Госбанк! Гм… Как сгорает? Очень просто, разве он несгораемый? Приезжают команды, пожарные тушат. Только шиш с маслом — не потушишь, если как следует загорится! И вот вообразите: все сгорело к чертовой матери — бухгалтеры сгорели и ассигновки… И, стало быть, у меня в кармане… Ах, да!.. Ведь аккредитив-то из Ростова-на-Дону? Ах, шут тебя возьми. Ну, ладно, я приезжаю в Ростов-на-Дону, а наш красный директор взял да и помер от разрыва сердца, который аккредитив подписал! И кроме того, опять пожар, и сгорели все исходящие, выходящие, входящие — все, ко псам, сгорело. Хи-хи! Ищи тогда концов. И вот в кармане у меня беспризорных девять тысяч. Хи-хи! Ах, если б знал наш красный директор, о чем мечтает Мохриков, но он не узнает никогда… Что бы я сделал прежде всего?..

II. ОНА!

…Прежде всего…

Она вынырнула с Петровки. Юбка до колен, клетчатая. Ножки — стройности совершенно неслыханной, в кремовых чулках и лакированных туфельках. На голове сидела шапочка, похожая на цветок колокольчик. Глазки — понятное дело. А рот был малиновый и пылал, как пожар.

«Кончил дело, гуляй смело», — почему-то вспомнил Мохриков сон и подумал: «Дама что надо. Ах, какой город Москва! Прежде всего, если бы сгорел красный директор… Фу! вот талия…»

— Пардон! — сказал Мохриков.

— Я на улице не знакомлюсь, — сказала она и гордо сверкнула из-под колокольчика.

— Пардон! — молвил ошеломленный Мохриков, — я ничего!..

— Странная манера, — говорила она, колыхая клетчатыми бедрами, — увидеть даму и сейчас же пристать. Вы, вероятно, провинциал?

— Ничего подобного, я из Ростова, сударыня, на Дону. Вы не подумайте, чтобы я был какая-нибудь сволочь. Я — инкассатор.

— Красивая фамилия, — сказала она.

— Пардон, — отозвался Мохриков сладким голосом, — это должность моя такая: инкассатор из Ростова-на-Дону. Фамилия же моя Мохриков, позвольте представиться. Я из литовских дворян. Основная моя фамилия, предки когда-то носили — Мохр. Я даже в гимназии учился.

— На Мопр похоже, — сказала она.

— Помилуйте! Хи-хи!

— А что значит «инкассатор»?

— Ответственная должность, мадам. Деньги получаю в банках по девять, по двенадцать тысяч и даже больше. Тяжело и трудно, но ничего. Облечен доверием…

«Говорил я себе, чтобы штаны в полоску купить. Разве можно в таких штанах с дамой разговаривать на Кузнецком? Срам!»

— Скажите, пожалуйста: деньги? Это интересно!

— Да-с, хи-хи! Что деньги! Деньги — тлен!

— А вы женаты?

— Нет, а вы такие молодые, мадам, и одинокие, как…

— Как что?

— Хи-хи, былинка.

— Ха-ха!

— Хи-хи.

…….

— Сухаревская-Садовая, № 201… Вы ужасно дерзкий инкассатор!

— Ах, что вы! Мерси. Только в номер заеду переоденусь, У меня в номере костюмов — прямо гибель. Это дорожный, так сказать, не обращайте внимания — рвань. А какая у вас шапочка очаровательная? Это что вышито на ней?

— Карты. Тройка, семерка, туз.

— Ах, какая прелесть. Хи-хи!

— Ха-ха!

III. ПРЕОБРАЖЕНИЕ

— Побрейте меня, — сказал Мохриков, прижимая к сердцу девять тысяч, в зеркальном зале.

— Слшсс… С волосами что прикажете?

— Того, этого, причешите.

— Ваня, прибор!

Через четверть часа Мохриков, пахнущий ландышем, стоял у прилавка и говорил:

— Покажите мне лакированные полуботинки…

Через полчаса на Петровке в магазине под золотой вывеской «Готовое платье» он говорил:

— А у вас где-нибудь, может быть, есть такая комнатка, этакая какая-нибудь, отдельная, где можно было бы брючки переодеть?..

— Пожалуйста.

Когда Мохриков вышел на Петровку, публика оборачивалась и смотрела на его ноги. Извозчики с козел говорили:

— Пожа, пожа, пожа…

Мохриков отражался в витринах и думал: «Я похож на артиста императорских театров…»

IV. НА РАССВЕТЕ

…Когда вся Москва была голубого цвета, и коты, которые днем пребывают неизвестно где, ночью ползали, как змеи, из подворотни в подворотню, на Сухаревской-Садовой стоял Мохриков, прижимая портфель к груди, и, покачиваясь, бормотал:

— М-да… Сельтерской воды или пива если я сейчас не выпью, я, дорогие товарищи, помру, и девять тысяч подберут дворники на улице… То есть не девять, позвольте… Нет, не девять… А вот что я вам скажу: ботинки — сорок пять рублей… Да, а где еще девять червонцев? Да, брился я — рубль пятнадцать… Довольно зто паскудно выходит… Впрочем, там аванс сейчас я возьму. А как он мне не даст? Вдруг я приезжаю, говорят, что от разрыва сердца помер, нового назначили. Комичная история тогда выйдет. Дорогой Мохриков, спросят, а где же двести пятьдесят рублей? Потерял их, Мохриков, что ли? Нет, пусть уж он лучше не помирает, сукин кот… Извозчик, где сейчас пива можно выпить в вашей паршивой Москве?

— Пожа, пожа, пожа… В казине.

— Это самое… как его зовут?.. Подъезжай сюда. Сколько?

— Два с полтиной.

— И… э… ну, вот, что ты? Как тебя зовут?.. Поезжай.

V. О, КАРТЫ!

Человек в шоколадном костюме и ослепительном белье, с перстнем на пальце и татуированным якорем на кисти, с фокусной ловкостью длинной белой лопаткой разбрасывал по столу металлические круглые марки и деньги и говорил:

— Банко сюиви! Пардон, месье, игра продолжается!..

За круглыми столами спали трое, положивши головы на руки, подобно бездомным детям. В воздухе плыл сизый табачный дым. Звенели звоночки, и бегали с сумочками артельщики, меняли деньги на марки. В голове у Мохрикова после горшановского пива несколько светлело, подобно тому, как светлело за окнами.

— Месье, чего же вы стоите на ногах? — обратился к нему человек с якорем и перстнем. — Есть место, прошу занимайте. Банко сюиви!

— Мерси! — мутно сказал Мохриков и вдруг машинально плюхнулся в кресло.

— Червонец свободен, — сказал человек с якорем и спросил у Мохрикова: — Угодно, месье?

— Мерси! — диким голосом сказал Мохриков…

VI. КОНЕЦ ИСТОРИИ

Озабоченный и очень вежливый человек сидел за письменным столом в учреждении. Дверь открылась, и курьер впустил Мохрикова. Мохриков имел такой вид: на ногах у него были лакированные ботинки, в руках портфель, на голове пух, а под глазами — зеленоватые гнилые тени, вследствие чего курносый нос Мохрикова был похож на нос покойника. Черные косяки мелькали перед глазами у Мохрикова и изредка прерывались черными полосками, похожими на змей; когда же он взвел глаза на потолок, ему показалось, что тот, как звездами, усеян бубновыми тузами.

— Я вас слушаю, — сказал человек за столом.

— Случилось чрезвычайно важное происшествие, — низким басом сказал Мохриков, — такое происшествие, прямо неописуемое.

Голос его дрогнул и вдруг превратился в тонкий фальцет.

— Слушаю вас, — сказал человек.

— Вот портфель, — сказал Мохриков, — извольте видеть — дыра, — доложил Мохриков и показал.

Действительно, в портфеле была узкая дыра.

— Да, дыра, — сказал человек.

Помолчали.

— В трамвай сел, — сказал Мохриков, — вылезаю, и вот (он вторично указал на дыру) — ножиком взрезали!

— А что было в портфеле? — спросил человек равнодушно.

— Девять тысяч, — ответил Мохриков детским голосом.

— Ваши?

— Казенные, — беззвучно ответил Мохриков.

— В каком трамвае вырезали? — спросил человек, и в глазах у него появилось участливое любопытство.

— Э… э… в этом, как его, в двадцать седьмом…

— Когда?

— Только что, вот сейчас. В банке получил, сел в трамвай и… прямо форменный ужас…

— Так. Фамилия ваша как?

— Мохриков. Инкассатор из Ростова-на-Дону.

— Происхождение?

— Отец от станка, мать кооперативная, — сказал жалобным голосом Мохриков. — Прямо погибаю, что мне теперича делать, ума не приложу.

— Сегодня банк заперт, — сказал человек, — в воскресенье. Вы, наверное, перепутали, гражданин. Вчера вы деньги получили?

«Я погиб», — подумал Мохриков, и опять тузы замелькали у него в глазах, как ласточки, потом он хриплым голосом добавил:

— Да это я вчера, которые эти… д… деньги получил.

— А где были вечером вчера? — спросил человек.

— Э… э… Ну, натурально в номере. В общежитии, где остановился…

— В казино не заезжали?

Мохриков бледно усмехнулся:

— Что вы! Что вы! Я даже это… не это… не, не был, да…

— Да вы лучше скажите, — участливо сказал человек, — а то ведь каждый приходит и говорит — трамвай, трамвай, даже скучно стало. Дело ваше такое, что все равно лучше прямо говорить, а то, знаете, у вас пух на голове, например, и вообще. И в трамвае вы ни в каком не ездили…

— Был, — вдруг сказал Мохриков и всхлипнул.

— Ну, вот и гораздо проще, — оживился человек за столом. — И мне удобнее, и вам.

И позвонивши, сказал в открывшуюся дверь:

— Товарищ Вахромеев, вот гражданина нужно будет проводить…

И Мохрикова повел Вахромеев

Комментарии. В. И. Лосев

Бубновая история

Впервые — Гудок. 1926. 8 июня.

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Воспаление мозгов

Посвящается всем редакторам еженедельных журналов.

В правом кармане брюк лежали 9 копеек — два трехкопеечника, две копейки и копейка, и при каждом шаге они бренчали, как шпоры. Прохожие косились на карман.

Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре! Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике и прикрыты волосами и фуражкой с белым верхом. Лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат.

А копейки — брень-брень.

У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги: «Щи суточные, севрюжка паровая, обед из 2-х блюд — 1 рубль».

Вынул девять копеек и выбросил их в канаву. К девяти копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге, отдал деньгам честь и прокричал:

— Спасибо от адмирала морских сил. Ура!

Затем он подобрал медяки и запел громким и тонким голосом:

Ата-цвели уж давно-о!

Хэ-ри-зан-темы в саду-у!

Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня, на жаре, на Тверской, адмирал в одном сапоге пел.

Тут за мной пошли многие и говорили со мной:

— Гуманный иностранец, пожалуйте и мне девять копеек. Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил.

— Профессор, окажите любезность…

А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мной на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом:

У Калуцкой заставы

Жил разбойник и вор — Комаров!

Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить:

— Предположим, так. Начало: жара, и я иду, и вот мальчишка. Прыгает. Беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность. Описать его. Ну, предположим, такой: молодой, голубые глаза. Бритый? Ну, скажем, бритый. Или с маленькой бородкой. Баритон. И говорит: «Мальчик, мальчик». А что дальше? «Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик…» «И в фартуке», — вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» — спросил я у мозгов удивленно. «Да этот, твой детдом».

«Дураки», — ответил я мозгам.

«Ты сам дурак. Бесталанный, — ответили мне мозги, — посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ. Графоман!»

«Не в фартуке, а в халате…»

«Почему он в халате? Ответь, кретин», — спросили мозги.

«Ну, предположим, что он только что работал, например, делал перевязку ноги больной девочке и вышел купить папирос „Трест". Тут же можно описать моссельпромщицу. И вот он говорит:

— Мальчик, мальчик… — А сказавши это (я потом присочиню, что он сказал), берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька (мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают) уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые, и назвать рассказ „Петька спасен". В журналах любят такие заглавия».

«Па-аршивенький рассказ, — весело бухнуло под фуражкой, — и тем более, что мы где-то уже это читали!»

— Молчать, я погибаю! — приказал я мозгам и открыл глаза. Передо мной не было адмирала и Черномора, и не было моих часов в кармане брюк.

Я пересек улицу и подошел к милиционеру, высоко поднявшему жезл.

— У меня часы украли сейчас, — сказал я.

— Кто? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я.

— Ну, тогда пропали, — сказал милиционер.

От таких его слов мне захотелось сельтерской воды.

— Сколько стоит один стакан сельтерской? — спросил я в будочке у женщины.

— Десять копеек, — ответила она.

Спросил я ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные девять копеек. И развеселился и немного оживился при мысли, что жалеть не следует.

«Предположим — милиционер. И вот подходит к нему гражданин…»

«Нуте-с?» — осведомились мозги… «Н-да, и говорит: часы у меня свистнули. А милиционер выхватывает револьвер и кричит: „Стой!! Ты украл, подлец". Свистит. Все бегут. Ловят вора-рецидивиста. Кто-то падает. Стрельба».

«Все?» — спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове.

«Все».

«Замечательно, прямо-таки гениально, — рассмеялась голова и стала стучать, как часы, — но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии. Все это, т. е. кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный городовой. Нес-па, товарищ Бенвенутто Челлини? »

Дело в том, что мой псевдоним — Бенвенутто Челлини. Я придумал его пять дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они пометили: «Бенвенутто Челлини» в книгах авансов рядом с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини.

«Или так: извозчик № 2579. И седок забыл портфель с важными бумагами из Сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в Сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили».

«Мы этого извозчика помним, — сказали, остервенясь, воспаленные мозги, — еще по приложениям к Марксовской „Ниве". Раз пять мы его там встречали, набранного то петитом, то корпусом, только седок служил тогда не в Сахаротресте, а в Министерстве внутренних дел. Умолкни! Вот и редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик?..»

По шаткой лестнице я вошел с развязным видом и громко напевая:

И за Сеню я!

За кирпичики

Полюбила кирпичный завод.

В редакции, зеленея от жары, в тесной комнате сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще двое праздношатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира.

— Кирпичики кирпичиками, — сказал заведующий, — а вот где обещанный рассказ?

— Представьте, какой гротеск, — сказал я, улыбаясь весело, — у меня сейчас часы украли на улице.

Все промолчали.

— Вы обещали сегодня дать денег, — сказал я и вдруг в зеркале увидал, что я похож на пса под трамваем.

— Нету денег, — сухо ответил заведующий, по лицам я увидал, что деньги есть.

— У меня есть план рассказа. Вот чудак вы, — заговорил я тенором, — я в понедельник его принесу к половине второго.

— Какой план рассказа?

— Хм… В одном доме жил священник…

Все заинтересовались. Праздношатающиеся подняли головы.

— Ну?

— И умер.

— Юмористический? — спросил редактор, сдвигая брови.

— Юмористический, — ответил я, утопая.

— У нас уже есть юмористика. На три номера. Сидоров написал, — сказал редактор. — Дайте что-нибудь авантюрное.

— Есть, — ответил я быстро, — есть, есть, как же!

— Расскажите план, — сказал, смягчаясь, заведующий.

— Кхе… Один нэпман поехал в Крым…

— Дальше-с!

Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок, и вымолвил:

— Ну и у него украли бандиты чемодан.

— На сколько строк это?

— Строк на триста. А впрочем, можно и… меньше. Или больше.

— Напишите расписку на двадцать рублей, Бенвенутто, — сказал заведующий, — но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу.

Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли.

Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий скворешный голос:

— Не дам я вашему Чинизелли ничего. Он и так перебрал уже шестьдесят целковых.

— Дайте, дайте, — приказал заведующий.

И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный, с трещиной посередине.

Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мной поставили толстую кружку пива. «Сделаем опыт, — говорил я кружке, — если они не оживут после пива, — значит, конец. Они померли — мои мозги, вследствие писания рассказов, и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получат обратно аванс…»

Эта мысль меня насмешила, я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жилы набухли, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике.

«Живы?» — спросил я.

«Живы», — ответили они шепотом.

«Ну, теперь сочиняйте рассказ!»

В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за полтора рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне две открытки в желтом конверте с надписью:

«Граждане, помогите глухонемому».

На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланными ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем, в жилах моих бежала пенистая пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. Глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому:

— Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какое ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в «Эльдорадо»!

«Предположим так, начал я, пламенея. — …Улица гремела, со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами (автобус)!»

«Здорово пошло дело, — заметили выздоровевшие мозги, — спрашивай еще пиво, чини карандаш, сыпь дальше… Вдохновенье, вдохновенье».

Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта-Таузига, под хлопанье тарелок, под звон серебра.

Я писал рассказ в «Иллюстрацию», мозги пели под военный марш:

Что, сеньор мой,

Вдохновенье мне дано?

Как ваше мненье?!

Жара! Жара!

Комментарии. В. И. Лосев

Воспаление мозгов

Впервые — Смехач. 1926. № 15. С. 5–14. (Юмористическая иллюстрированная библиотека).

Печатается по тексту данного издания.

Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева

В корреспонденциях Ферапонта Ферапонтовича Капорцева (проживает в провинции) исправлена мною только неуместная орфография. Одним словом — корреспонденции подлинные.

Корреспонденция первая

НЕСГОРАЕМЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ДОМ

В общегосударственном масштабе известен жилищный кризис, докатившийся даже до нашего Благодатска. Не может быть свободно по той причине, что благодаря повышенной рождаемости, вызванной нэпом, народонаселение растет с угрожающей быстротой, и вот наш известный кооператор Павел Федорович Петров (замените его буквами «Пе, Фе, Пе», а то будет скандал) решил выйти из положения кооперативным способом. Человек-то он, правда, развитой, но только скорохват американской складки. Все дело началось с того, что его супруга сверх всяких ожиданий родила вместо одного младенца — двойню, чем и толкнула Петрова на кооперативные поступки.

С разрешения начальства он образовал жилищностроительное кооперативное бюро в составе Н. Н. Л. (агроном от первого брака его отца) и В. А. С. (жених его сестры — заведующий хоровым кружком культкомиссии) со взносом каждый в 12 червонцев для постройки американского дома термолитова типа — изумительной новинки в нашем городе.

Вообразите изумление закоренелых благодатцев, когда на углу Новосвятской и Парижской Коммуны вырос буквально как гриб двухэтажный дом на три квартиры в рассрочку с удобствами.

Очень похожий на заграничные дома на открытках Швейцарии с острой крышей. Более всего удивительно, что дом оказался несгораемый, что вызвало строительную горячку и подачу прошений в исполком (теперь их все взяли обратно).

Дураки нашего города смеялись над Петровым, предлагая испробовать дом при помощи керосина, но тот отказался, и, как оказалось, совершенно напрасно, не ходил бы он теперь к лету в шубе, с календарем в руках!

Все строительное бюро перевезло своих детей и все монатки 5 апреля (дом этот такого цвета, как папиросный пепел), и Петров дошел до того, что даже поставил в нем телефон.

А на первый день праздника, 19-го, на Пасху ночью наша бдительная пожарная команда была поставлена на ноги роковым сообщением по петровскому телефону:

— Пожар!!!

Наш брандмейстер Салов ответил по телефону:

— Вы будете оштрафованы за ложный вызов и пьяную пасхальную шутку. Этого не может быть.

Тут Петров с плачущим голосом отскочил от телефона и перестал действовать, потому что в нем перегорел уже провод.

Когда же вследствие зарева с каланчи наши молодцы-пожарные прибыли, то застали всю жилищуо-американскую компанию стоящею в теплых шубах на улице, а дом сгорел, как факел, успев спасти кольцо его жены, запасную шубу главного американца Петрова, кастрюлю и отрывной календарь с изображением всероссийского старосты. Теперь возникает судебное дело: «О пожаре несгораемого дома». По-моему, это глупое дело! Да оно ничем и не кончится, потому что Салов обнаружил, что было самовозгорание проводов на чердаке.

Вот так все у нас в провинции происходит по-удивительному. В Москве бы он, вероятно, не сгорел.

Корреспондент Капорцев

Корреспонденция вторая

ЛЖЕДИМИТРИЙ ЛУНАЧАРСКИЙ

(Из провинции от Капорцева)

* * *

В нашем славном Благодатском учреждении имеется выдающийся секретарь. Мы так и смотрим на него, что он на отлете.

Конечно, ему не в Благодатском сидеть, а в Москве или, в крайнем случае, в Ленинграде. Тем более что он говорил, что у него есть связи.

Над собой повесил надпись: «Рукопожатия переносят заразу», «Если ты пришел к занятому человеку, не мешай ему», «Посторонние разговоры по телефону строго воспрещаются», и кроме этого, выстроил решетку, как возле нашего памятника Карла Либкнехта, и таким образом оторвался от массы начисто.

Кто рот ни раскроет сквозь решетку, он ему говорит одно только слово: «Короче!» Короче. Короче. Каркает, как ворона на суку.

В один прекрасный день появляется возле решетки молодой человек. Одет очень хорошо, реглан-пальто. Рыженький. Усики. Галстук бабочкой. Взял стул, сидит. Секретарь всех откаркал от решетки и к нему:

— Вам что, товарищ? Короче!

А тот отвечает:

— Ничего, товарищ, я подожду. Вы заняты.

Голос у него великолепный, интеллигентный.

Тот брови нахмурил и говорит:

— Нет, вы говорите. Короче.

Тот отвечает:

— Я, видите ли, товарищ, к вам сюда назначен.

Тот брови поднял:

— Как ваша фамилия?

А тот:

— Луначарский. — Молодой человек так скромно кашлянул. Вежливый. — Луначарский.

Тот открыл загородку, вышел, говорит:

— Пожалуйте сюда (уже «короче» не говорит), — и спрашивает: — Виноват (заметьте: «виноват»), вы не родственник Анатолию Васильевичу?

А тот:

— Это не важно. Я — его брат.

Хорошенькое «не важно»! Загородку к черту. Стул.

— Вы курите? Садитесь! Позвольте узнать, а на какую должность?

А тот:

— За заведующего.

Здорово.

А заведующего нашего как раз вызвали в Москву для объяснений по поводу паровой мельницы, и мы знаем, что другой будет.

Что тут было с секретарем и со всеми, трудно даже описать — такое восхищение. Оказывается, что у Дмитрия Васильевича украли все документы, пока он к нам ехал, и деньги в поезде под самым Красноземском, а оттуда он доехал до нашего Благодатска на телеге, которая мануфактуру везла. Главное, говорит, курьезно, что чемодан украли с бельем. Все собрались в восторге, что могут оказать помощь.

И вот список наших карьеристов:

1) Секретарь дал, смеясь, 8 червонцев.

2) Кассир — 3 червонца.

3) Заведующий столом личного состава — 2 червонца, мыло, полотенце, простыню и бритву (не вернул).

4) Бухгалтер — 42 рубля и три пачки папирос «Посольских».

5) Кроме того, брату Луначарского выписали авансом 50 рублей в счет жалованья.

И отправились осматривать учреждения и принимать дела. Оказался необыкновенно воспитанный, принял заявления и на каждом написал «Удовлетворить».

Секретарь стал, как бес, все время не ходил, а бегал, как пушинка. Предлагал тотчас же телеграмму в Москву насчет документов, но столичный гость придумал лучше: «Я, — говорит, — все равно отправлюсь сейчас же инспектировать уезд, доеду до самого Красноземска, а оттуда лично по прямому проводу все сделаю».

Все подивились страшной быстроте его энергии. Единственная у нас машина в Благодатске, как вам известно, и на ней Дмитрий Васильевич отбыл на прямой провод (при этом: одеяло дал секретарь, два фунта колбасы, белого хлеба и в виде сюрприза положил бутылку английской горькой).

До Красноземска три часа езды на машине. Ну, скажем, на прямом проводе один час, обратно — три часа. Вернулась машина в 11 часов вечера, шофер пьяный и говорит, что Дмитрий Васильевич остался ночевать у тамошнего председателя и распорядился прислать машину завтра, в 3 часа дня.

Завтра послали машину. Приезжает и — нету Дмитрия Васильевича. В чем дело — никто не может понять. Секретарь сейчас сам — скок в машину и в Красноземск. Возвращается на следующее утро — туча тучей и никому не смотрит в глаза. Мы ничего не можем понять. Бухгалтер что-то почуял насчет 42 целковых и спрашивает дрожащим голосом:

— А где же Дмитрий Васильевич? Не заболел ли?

А тот вдруг закусил губу и:

— Асс-тавьте меня в покое, товарищ Прокундин! — Дверью хлопнул и ушел.

Мы к шоферу. Тот ухмыляется. Оказывается, прямо колдовство какое-то. Никакого Дмитрия Васильевича в Красноземске у председателя не ночевало. На прямом проводе, секретарь спрашивает, не разговаривал ли Луначарский — так прямо думали, что он с ума сошел. Секретарь даже на вокзал кидался, спрашивал, не видали ли молодого человека с одеялом. Говорят, видели с ускоренным поездом. Но только галстук не такой.

Мы прямо ужаснулись. Какое-то наваждение. Точно призрак побывал в нашем городе.

Как вдруг кассир спрашивает у шофера:

— Не зеленый ли галстук?

— Во-во.

Тут кассир вдруг говорит:

— Прямо признаюсь, я ему, осел, кроме трех червей еще шелковый галстук одолжил.

Тут мы ахнули и догадались, что самозванец.

* * *

На 222 рубля наказал подлиз наших. Не считая вещей и закусок. Вот тебе и «короче».

Ваш корреспондент Капорцев

Корреспонденция третья

ВАНЬКИН-ДУРАК

Чуден Днепр при тихой погоде, но гораздо чуднее наш профессиональный знаменитый работник 20-го века Ванькин Исидор, каковой прилип к нашему раб-клубу, как банный лист.

Ни одна ерунда в нашей жизни не проходит без того, чтобы Ванькин в ней не был.

Мы, грешным делом, надеялись, что его в центр уберут, но, конечно, Ванькина в центре невозможно держать.

И вот произошло событие. В один прекрасный день родили одновременно две работницы на нашем заводе Марья и Дарья, и обе — девочек: только у Марьи рыженькая, а у Дарьи обыкновенная. Прекрасно. Наш завком очень энергичный, и поэтому решили прооктябрить как ту, так и другую.

Ну, ясно и понятно: без Ванькина ничто не может обойтись. Сейчас же он явился и счастливым матерям предложил имена для их крошек: Баррикада и Бебелина. Так что первая выходила Баррикада Анемподистовна, а вторая Бебелина Иванна, от чего обе матери отказались с плачем и даже хотели обратно забрать свои плоды.

Тогда Ванькин обменял на два других имени: Мессалина и Пестелина, и только председатель завкома его осадил, объяснив, что «Мессалина» — такого имени нет, а это картина в кинематографе.

Загнали наконец Ванькина в пузырек. Стих Ванькин, и соединенными усилиями дали мы два красивых имени: Роза и Клара.

— Как конфетка будут октябрины, — говорил наш председатель, потирая мозолистые руки, — лишь бы Ванькин ничего не изгадил.

В клубе имени тов. Луначарского народу набилось видимо-невидимо, все огни горят, лозунги сияют. И счастливые матери сидели на сцене с младенцами в конвертах, радостно их укачивая.

Объявили имена, и председатель предложил слово желающему, и, конечно, выступил наш красавец Ванькин. И говорит:

— Ввиду того и принимая во внимание, дорогие товарищи, что имена мы нашим трудовым младенцам дали Роза и Клара, предлагаю почтить память наших дорогих борцов похоронным маршем. Музыка, играй!

И наш капельмейстер, заведующий музыкальной секцией, звучно заиграл: «Вы жертвою пали». Все встали в страшном смятении, и в это время окрестность вдруг огласилась рыданием матери № 2 Дарьи вследствие того, что ее младенчик Розочка на руках у нее скончалась.

Была картина, я вам доложу! Первая мать, только сказав Ванькину:

— Спасибо тебе, сволочь, — брызнула вместе с конвертом к попу, и тот не Кларой, а простой Марьей окрестил ребеночка в честь матери.

Весь отставший старушечий элемент Ванькину учинил такие октябрины, что тот еле ноги унес через задний ход клуба.

И тщетно наша выдающая женщина-врач Оль-Мих. Динамит объясняла собранию, что девочка умерла от непреодолимой кишечной болезни ее нежного возраста и была уже с 39 градусами и померла бы, как ее ни называй, никто ничего не слушал. И все ушли, уверенные, что Ванькин девчонку похоронным маршем задавил наповал.

Вот-с, бывают такие штуки в нашей милой отдаленности.

С почтением Капорцев

Четвертая корреспонденция

БРАНДМЕЙСТЕР ПОЖАРОВ

Покорнейше вас прошу, товарищ литератор, нашего брандмейстера пожаров (фамилия с малой буквы. — М. Б.) описать покрасивее, с рисунком.

Был у нас на станции N. Балтийской советской брандмейстер гражданчик Пожаров. Вот это был пожаров, так знаменитый пожаров, чистой воды Геркулес, наш брандмейстер храбрый.

Первым долгом налетел брандмейстер на временные железные печи во всех абсолютно помещениях и все их разобрал в пух и прах, так что наши железнодорожники, товарищи-граждане, братья-сестрицы вымерзли, как клопы.

Налетал Пожаров в каске, как рыцарь среднего века, на наш клуб и хотел его стереть с лица земли, кричал, что клуб антипожарный. Шел в бой на Пожарова наш местком и заступался и вел с разрушителем нашего быта бой семь заседаний, не хуже Перекопа. Насчет клуба загнали месткомские Пожарова в пузырек, а на библиотечном фронте насыпал Пожаров с факелами, совершенно изничтожил печную идею, почему покрылся льдом товарищ Бухарин со своей азбукой и Львом Толстым и прекратилось население в библиотеке отныне и вовеки. Аминь. Аминь. Просвещайся, где хочешь!

И еще не очень-то доказал гражданин брандмейстер свою преданность Октябрю! Когда годовщина произошла, то он, что сделает ей подарок, возвестил на пожарном дворе с трубными звуками. И пожарную машину всю до винтика разобрал. А теперь ее собрать некому, и ввиду пожара мы все просто погорим без всякого разговора. Вот так имеет годовщина подарочек!

Лучше всего припаял брандмейстер нашу кассу взаимопомощи. Червонец взял и уехал, а по какому курсу — неизвестно! Говорили, видели будто бы, что Пожаров держал курс на станц. Х. подмосковную. Поздравляем вас, братцы подмосковники, будете вы иметь!

Было жизни пожарской у нас ровно два месяца, и настала полная тишина с морозом на северном полюсе. Да будет ему земля пухом, но червонец пусть все-таки вернет под замок нашей несгораемой кассы взаимопомощи.

Фамилию мою Капорцев не ставьте, а прямо напечатайте подпись «Магнит», поязвительнее сделайте его.[64]

[64] Впервые полный цикл фельетонов, ранее опубликованных в различных газетах и журналах, — Смехач. 1926. № 15. С. 15–26. (Юмористическая иллюстрированная библиотека).

Василий Шукшин

Справочный материал

Шукшин Василий Макарович (1929— 1974), писатель, кинорежиссёр, сценарист, актёр.

Родился 25 июля 1929 г. в селе Сростки Бийского района Алтайского края в крестьянской семье. После школы работал слесарем, служил во флоте, был директором вечерней школы в родном селе. С 1954 г. жил в Москве. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (1961 г.), учился у М. И. Ромма. В 1959 г. начал публиковать рассказы, составившие первый сборник «Сельские жители» (1963 г.).

В 1964 г. по своему сценарию Шукшин поставил фильм «Живёт такой парень», получивший приз «Золотой лев» на Международном кинофестивале в Венеции. Главный герой фильма Пашка Колокольников — человек, по определению автора, «стихийного образа жизни».

В фильмах «Там, вдали» (1968 г.) и «Печки-лавочки» (1973 г.) Шукшин противопоставляет «свежесть» деревни стандартности города. Он сталкивает человека, жаждущего душевного праздника, с бездуховностью мещанской жизни.

Наибольшую художественную силу эта тема обрела в киноповести «Калина красная» (1973 г.), послужившей сценарием для одноимённого фильма в постановке автора и с его участием как исполнителя главной роли. Картина стала победителем на 7-м Всесоюзном кинофестивале в Баку (1974 г.). Стремление к эпической форме проявилось в романе «Любавины» (1965 г.), фильме «Конец Любавиных» (1972 г.), киноромане «Я пришёл дать вам волю» (1971 г.) о Степане Разине и картине «Странные люди» (1971 г.)

Литературный стиль Шукшина ярко окрашен колоритом народно-разговорной речи.

Василий Макарович скоропостижно умер 2 октября 1974 г. в станице Клетской Волгоградской области на съёмках фильма «Они сражались за Родину».

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Микроскоп

На это надо было решиться. Он решился. Как-то пришел домой -- сам не свой -- желтый; не глядя на жену, сказал:

-- Это... я деньги потерял. -- При этом ломаный его нос (кривой, с горбатинкой) из желтого стал красным. -- Сто двадцать рублей.

У жены отвалилась челюсть, на лице появилось просительное выражение: может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила:

-- Где?

Тут он невольно хмыкнул.

-- Дак если б я знал, я б пошел и...

-- Ну не-ет!! -- взревела она. -- Ухмыляться ты теперь доолго не будешь! -- И побежала за сковородником. -- Меся-цев девять, гад!

Он схватил с кровати подушку -- отражать удары. (Древ-ние только форсили своими сверкающими щитами. Подуш-ка!) Они закружились по комнате...

-- Подушку-то, подушку-то мараешь! Самой стирать!..

-- Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут! Мои! Мои!..

-- По рукам, слушай!..

-- От-теньки-коротеньки!.. Кривенькие носики!

-- По рукам, зараза! Я ж завтра на бюлитень сяду! Тебе же хуже.

-- Садись!

-- Тебе же хуже...

-- Пускай!

-- Ой!

-- От так!

-- Ну, будет?

-- Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку отвести, скважина ты кривоносая! Дятел... -- Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась...

Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо смотрела на него: притворяется или правда больно? Решила, что -- правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. Да с причетом, с причетом:

-- Ох, да за штоже мне долюшка така-ая-а?.. Да копила-то я их, копила!.. Ох, да лишний-то раз кусочка белого не ела-а!.. Ох, да и детушкам своим пряничка сладкого не поку-пала!.. Все берегла-то я, берегла, скважина ты кривоносая-а!.. Ох-х!.. Каждую-то копеечку откладывала да радовалась: будут у моих детушек к зиме шубки теплые да нарядные! И будут-то они ходить в школу не рваные да не холодные!..

-- Где это они у тебя рваные-то ходют? -- не вытерпел он.

-- Замолчи, скважина! Замолчи. Съел ты эти денюжки от своих же детей! Съел и не подавился... Хоть бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было.

-- Спасибо на добром слове, -- ядовито прошептал он.

-- М-хх, скважина!.. Где был-то? Может, вспомнишь?.. Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак по-ложил да забыл?

-- Где на работе!.. Я в сберкассу-то с работы пошел. На работе...

-- Ну, может, заходил к кому, скважина?

-- Ни к кому не заходил.

-- Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками?.. Вспомни. Может, выронил на пол... Беги, они пока ишо отдадут.

-- Да не заходил я в ларек!

-- Да где ж ты их потерять-то мог, скважина?

-- Откуда я знаю?

-- Ждала его!.. Счас бы пошли с ребятишками, примери-ли бы шубки... Я уж там подобрала -- какие. А теперь их раз-берут. Ох, скважина ты, скважина...

-- Да будет тебе! Заладила: скважина, скважина...

-- Кто же ты?

-- Што теперь сделаешь?

-- Будешь в две смены работать, скважина! Ты у нас ху-дой будешь... Ты у нас выпьешь теперь читушечку после бани, выпьешь! Сырой водички из колодца...

-- Нужна она мне, читушечка. Без нее обойдусь.

-- Ты у нас пешком на работу ходить будешь! Ты у нас покатаешься на автобусе.

Тут он удивился:

-- В две смены работать и -- пешком? Ловко...

-- Пешком! Пешком -- туда и назад, скважина! А где, так ишо побежишь -- штоб не опоздать. Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз.

-- В две не в две, а по полторы месячишко отломаю -- ничего, -- серьезно сказал он, потирая ушибленное место. -- Я уж с мастером договорился... -- Он не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула на него, поправился: -- Я, как хватился денег-то, на работу снова поехал и договорился.

-- Ну-ка дай сберегательную книжку, -- потребовала она. Посмотрела,
вздохнула и еще раз горько сказала: -- Скважина.

С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при "Заготзерне", что в девяти километрах от села, чувство-вал себя скверно. Жена все злилась; он то и дело получал "скважину", сам тоже злился, но обзываться вслух не смел.

Однако дни шли... Жена успокаивалась. Андрей ждал. Наконец решил, что -- можно.

И вот поздно вечером (он действительно "вламывал" по полторы смены) пришел он домой, а в руках держал коробку, а в коробке, заметно, что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял.

Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом, иногда это были небольшие какие-нибудь деревян-ные штучки, ящички, завернутые в бумагу, -- никого не удивляло, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание... На него обратили внимание.

-- Чего эт ты, как... голый зад при луне, светисся?

-- Вот... дали за ударную работу. -- Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку. И наконец, открыл. И выставил на стол... микроскоп.

-- Микроскоп.

-- Для чего он тебе?

Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился.

-- Луну будем разглядывать! -- И захохотал. Сын-пятиклассник тоже засмеялся: луну в микроскоп!

-- Чего вы? -- обиделась мать.

Отец с сыном так и покатились.

Мать навела на Андрея строгай взгляд. Тот успокоился.

-- Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды... Так? -- Андрей зачерпнул кружку воды. – Ты думаешь, ты воду пьешь?

-- Пошел ты!

-- Нет, ты ответь.

-- Воду пью.

Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.

-- Воду она пьет!.. Ну не дура?..

-- Скважина! Счас сковородник возьму.

Андрей снова посерьезнел.

-- Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то. Миллиончика два тяпнешь -- и порядок. На закуску! -- Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть за сковородником.

-- Гляди суда! -- закричал Андрей. Подбежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркаль-ный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверно, минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним -- смерть как хотелось тоже глянуть.

-- Пап!..

-- Вот они, собаки!.. -- прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал: -- Разгуливают.

-- Ну пап!

Отец дрыгнул ногой.

-- Туда-сюда, туда-сюда!.. Ах, собаки!

-- Папка!

-- Дай ребенку посмотреть! -- строго велела мать, тоже явно заинтересованная.

Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил:

-- Ну?

Сын молчал.

-- Ну?!

-- Вот они! -- заорал парнишка. -- Беленькие...

Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери.

-- Гляди! Воду она пьет...

Мать долго смотрела... Одним глазом, другим...

-- Да никого я тут не вижу.

Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый.

-- Оглазела! Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура! Беленькие такие...

Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась.

-- Вон, однако... -- Может, соврала, у нее выскакивало. Могла приврать.

Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот.

-- Твою мать, што делают! Што делают!..

-- Мутненькие такие? -- расспрашивала сзади мать сына. -- Вроде как жиринки в супу?.. Они, што ли?

-- Ти-ха! -- рявкнул Андрей, не отрываясь от микроско-па. -- Жиринки... Сама ты жиринка. Ветчина целая. -- Странно, Андрей Ерин становился крикливым хозяином в доме.

Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник.
Потом подвела к микроскопу младших.

-- Ну-ка ты, доктор кислых щей!.. Дай детям посмотреть. Уставился.

Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то.

Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, пока-зал сыну:

-- Сколько здесь? Приблизительно?

Сын наморщил лоб:

-- С полмиллиончика есть.

Андрей Ерин прищурил глаз на ложку.

-- Не меньше. А мы их -- ам! -- Он проглотил суп и хлоп-нул себя по груди. -- И -- нету. Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Он-то с имя управляется!

-- Небось сам выпросил? -- Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. -- Может, пылесос бы дали. А то пропылесосить -- и нечем.

Нет, Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся творец, увлекся. Как всякий художник, впрочем. Да ведь и то -- не Мыслителя делал.

Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал:

-- От же ж собаки!.. Што вытворяют. Што они только вытворяют! И не спится им!

-- Не помешайся, -- сказала жена, -- тебе ведь немного и надо-то -- тронешься.

-- Скоро начну открывать, -- сказал Андрей, залезая в тепло к жене. -- Ты с ученым спала когда-нибудь?

-- Еще чего!..

-- Будешь. -- И Андрей Ерин ласково похлопал супругу по мягкому плечу. -- Будешь, дорогуша, с ученым спать.

Неделю, наверно, Андрей Ерин жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал... Косился на микроскоп.

-- Дело в том, -- рассказывал он, -- что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается, почему же он шестьдесят, от силы семьдесят – и протянул ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают век человеку. Пролезают в организм, и как только он чуток ослабнет, они берут верх.

Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из колодца, из питьевого ведра... Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы... И там этих беленьких кишмя кишело.

-- Твою мать-то, што делают!.. Ну вот как с имя бороться? -- У Андрея опускались руки. -- Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил. Тут же прошел и ребенок босыми ногами и, пожалуйста, подцепил. А какой там организм у ребенка!

-- Поэтому всегда надо вытирать ноги, -- заметил сын. -- А ты не вытираешь.

-- Не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то -- я вытру, знаю теперь, а Сенька вон Маров... докажи ему: как шлепал, дурак, так и впредь будет.

Рассматривали также капельку пота, для чего сынишка до изнеможения бегал по улице, потом отец ложечкой соскреб у него со лба влагу – получили капельку, склонились к микроскопу...

-- Есть! -- Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. – Иди проживи сто пятьдесят лет!.. В коже и то есть.

-- Давай опробуем кровь? -- предложил сын.

Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце... Склонился к трубке и застонал.

-- Хана, сынок, -- в кровь пролезли! -- Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг. -- Та-ак. А ведь знают, паразиты, лучше меня знают -- и молчат.

-- Кто? -- не понял сын.

-- Ученые. У их микроскопы-то получше нашего -- все видят. И молчат. Не хотят расстраивать народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить. Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется.

Андрей Ерин сел на табуретку, закурил.

-- От какой мелкой твари гибнут люди! -- Вид у Андрея был убитый.

Сын смотрел в микроскоп.

-- Друг за дружкой гоняются! Эти маленько другие... Кругленькие.

-- Все они -- кругленькие, длинненькие -- все на одну масть. Матери не говори пока, што мы у меня их в крове видели.

-- Давай у меня посмотрим?

Отец внимательно поглядел на сына... И любопытство, и страх отразились в глазах Ерина-старшего. Руки его, натру-женные за много лет -- большие, пропахшие смольем... чуть дрожали на коленях.

-- Не надо. Может, хоть у маленьких-то... Эх вы! -- Андрей встал, пнул со зла табуретку. -- Вшей, клопов, личинок всяких -- это научились выводить, а тут каких-то... меньше же гниды самой маленькой -- и ничего сделать не можете! Где же ваша ученая степень!

-- Вшу видно, а этих... Как ты их?

Отец долго думал.

-- Скипидаром?.. Не возьмет. Водка-то небось покрепче... я ж пью, а вон видел, што делается в крове-то!

-- Водка в кровь, что ли, поступает?

-- А куда же? С чего же дуреет человек?

Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу... Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу.

-- Давай попробуем... Наточил проволочку -- может, сумеем наколоть парочку.

Кончик проволочки был тонкий-тонкий -- прямо воло-сок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды. Пыхтел... Вспотел даже.

-- Разбегаются, заразы... Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя -- не сделать. Ладно, счас поужинаем, попробуем их током... Я батарейку прихватил: два проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как тогда они будут...

И тут-то во время ужина нанесло неурочного: зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем в "Заготзерне". По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверно, и забрел к Андрею -- просто так.

В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.

-- Садись с нами, -- без всякого желания пригласил Анд-рей.

-- Зачем? Мы вот тут... Нам што? Нам -- в уголку!..

"Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся?"

-- Как хочешь.

-- Дай микробов посмотреть?

Андрей встревожился.

-- Каких микробов? Иди проспись, Серега... Никаких у меня микробов нету.

-- Чего ты скрываешь-то? Оружию, што ли, прячешь? Научное дело... Мне мой парнишка все уши прожужжал: дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить. Андрей!.. -- Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый взгляд на "ученого". -- Золотой памятник отольем!.. На весь мир прославим! А я с тобой рядом работал!.. Андрюха!

Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что говорят про ее мужа -- ученый. Скорей по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила:

-- Не могли уж чего-нибудь другое присудить? А то -- микроскоп.
Свихнется теперь мужик -- ночи не спит. Што бы -- пылесос какой-нибудь присудить... А то пропылесосить -- и нечем, не соберемся никак купить.

-- Кого присудить? -- не понял Сергей.

Андрей Ерин похолодел.

-- Да премию-то вон выдали... Микроскоп-то этот...

Андрей хотел было как-нибудь -- глазами -- дать понять Сергею, что... но куда там! Тот уставился на Зою как баран.

-- Какую премию?

-- Ну премию-то вам давали!

-- Кому?

Зоя посмотрела на мужа, на Сергея...

-- Вам премию выдавали?

-- Жди, выдадут они премию! Догонют да ишо раз выда-дут. Премию...

-- А Андрею вон микроскоп выдали... за ударную рабо-ту... -- Голос супруги Ериной упал до жути -- она все поняла.

-- Они выдадут! -- разорялся в углу пьяный Сергей. -- Я в прошлом месяце на сто тридцать процентов нарядов назакрывал... так? Вон Андрей не даст соврать...

Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть.

Андрей встал... Взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил:

-- У тебя три рубля есть? До получки...

-- Есть... Ты за што меня ударил?

-- Пошли в лавку. Кикимора ты болотная!.. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам?.. Эх-х... Чурка ты с глазами.

В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей. Пропили свои деньги, у кого-то еще занимали до получки.

Только на другой день, к обеду, заявился Андрей домой... Жены не было.

-- Где она? -- спросил сынишку

-- В город поехала, в эту... как ее... в комиссионку.

Андрей сел к столу, склонился на руки. Долго сидел так.

-- Ругалась?

-- Нет. Так, маленько. Сколько пропил?

-- Двенадцать рублей. Ах, Петька... сынок... -- Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зу-бами. -- Разве же в этом дело?! Не поймешь ты по малости своей... не поймешь...

-- Понимаю: она продаст его.

-- Продаст. Да... Шубки надо. Ну ладно -- шубки, ладно. Ничего... Надо: зима скоро. Учись, Петька! -- повысил голос Андрей. -- На карачках, но ползи в науку -- великое дело. У тя в копилке мелочи нисколь нету?

-- Нету, -- сказал Петька. Может, соврал.

-- Ну и ладно, -- согласился Андрей. -- Учись знай. И не пей никогда... Да они и не пьют, ученые-то. Чего им пить? У их делов хватает без этого.

Андрей посидел еще, покивал грустно головой... И пошел в горницу спать.

Мнение

Некто Кондрашин, Геннадий Сергеевич, в меру полненький гражданин, голубоглазый, слегка лысеющий, с надменным, несколько даже брезгливым выражением на лице, в десять часов без пяти минут вошел в подъезд большого глазастого здания, взял в окошечке ключ под номером 208, взбежал, поигрывая обтянутым задком, на второй этаж, прошел по длинному коридору, отомкнул комнату номер 208, взял местную газету, которая была вложена в дверную ручку, вошел в комнату, повесил пиджак на вешалку и, чуть поддернув у колен белые отглаженные брюки, сел к столу. И стал просматривать газету. И сразу наткнулся на статью своего шефа, "шефуни", как его называли молодые сотрудники. И стал читать. И по мере того, как он читал, брезгливое выражение на его лице усугублялось еще насмешливостью.

-- Боженька мой! -- сказал он вслух. Взялся за телефон, набрал внутренний трехзначный номер. Телефон сразу откликнулся:

-- Да. Яковлев.

-- Здравствуй! Кондрашин. Читал?

Телефон чуть помедлил и ответил со значительностью, в которой тоже звучала насмешка, но скрытая:

-- Читаю.

-- Заходи, общнемся.

Кондрашин отодвинул телефон, вытянул тонкие губы трубочкой, еще пошуршал газетой, бросил ее на стол -- небрежно и подальше, чтоб видно было, что она брошена и брошена небрежно... Поднялся, походил по кабинету. Он, пожалуй, слегка изображал из себя кинематографического американца: все он делал чуть размашисто, чуть небрежно... Небрежно взял в рот сигарету небрежно щелкнул дорогой зажигалкой, издалека небрежно бросил пачку сигарет на стол. И предметы слушались его: ложились, как ему хотелось, -- небрежно, он делал вид, что он не отмечает этого, но он отмечал и был доволен.

Вошел Яковлев.

Они молча -- небрежно -- пожали друг другу руки. Яковлев сел в кресло, закинул ногу на ногу, при этом обнару-жились его красивые носки.

-- А? -- спросил Кондрашин, кивнув на газету. -- Каков? Ни одной свежей мысли, болтовня с апломбом, -- он, мо-жет быть, и походил бы на американца, этот Кондрашин, если б нос его, вполне приличный нос, не заканчивался бы вдруг этаким тамбовским лапоточком, а этот лапоточек еще и -- совсем уж некстати -- слегка розовел, хотя лицо Кондрашина было сытым и свежим.

-- Не говори, -- сказал Яковлев, джентльмен попроще. И качнул ногой.

-- Черт знает!.. -- воскликнул Кондрашин, продолжая ходить по кабинету и попыхивая сигаретой. -- Если нечего сказать, зачем тогда писать?

-- Откликнулся. Поставил вопросы...

-- Да вопросов-то нет! Где вопросы-то?

-- Ну как же? Там даже есть фразы: "Мы должны напрячь все силы...", "Мы обязаны в срок..."

-- О да! Лучше бы уж он напрягался в ресторане -- конкретнее хоть. А то именно -- фразы.

-- В ресторане -- это само собой, это потом.

-- И ведь не стыдно! -- изумлялся Кондрашин. -- Все на полном серьезе... Хоть бы уж попросил кого-нибудь, что ли. Одна трескотня, одна трескотня, ведь так даже для районной газеты уже не пишут. Нет, садится писать! Вот же Долдон Иваныч-то.

-- Черт с ним, чего ты волнуешься-то? -- искренне спро-сил Яковлев. -- Дежурная статья...

-- Да противно все это.

-- Что ты, первый год замужем, что ли?

-- Все равно противно. Бестолково, плохо, а вид-то, посмотри, какой, походка одна чего стоит. Тьфу!.. -- и Кондрашин вполне по-русски помянул "мать". -- Ну почему?! За что? Кому польза от этого надутого дурака. Бык с куриной головой...

-- Что ты сегодня? -- изумился теперь Яковлев. -- Какая тебя муха укусила? Неприятности какие-нибудь?

-- Не знаю... -- Кондрашин сел к столу, закурил новую сигарету. -- Нет, все в порядке. Черт ее знает, просто взбе-сила эта статья. Мы как раз отчет готовим, не знаешь, как концы с концами свести, а этот, -- Кондрашин кивнул на газету, -- дует свое... Прямо по морде бы этой статьей, по морде бы!..

-- Да, -- только и сказал Яковлев.

Оба помолчали.

-- У Семена не был вчера? -- спросил Яковлев.

-- Нет. Мне опять гостей бог послал...

-- Из деревни?

-- Да-а... Моя фыркает ходит, а что я сделаю? Не выгонишь же.

-- А ты не так. Ты же Ожогина знаешь?

-- Из горкомхоза?

-- Да.

-- Знаю.

-- Позвони ему, он гостиницу всегда устроит. Я, как ко мне приезжают, сразу звоню Ожогину -- и никс проблем.

-- Да неудобно... Как-то, знаешь, понятия-то какие! Скажут: своя квартира есть, а устраивает в гостиницу. И тем не объяснишь, и эта... вся испсиховалась. Вся зеленая ходит. Вежливая и зеленая.

Яковлев засмеялся, а за ним, чуть помедлив, и Кондрашин усмехнулся.

С тем они и расстались, Яковлев пошел к себе, а Кондрашин сел за отчет.

Через час примерно Кондрашину позвонили. От "шефуни".

-- Дмитрий Иванович просит вас зайти, -- сказал в трубку безучастный девичий голосок.

-- У него есть кто-нибудь? -- спросил Кондрашин.

-- Начальник отдела кадров, но они уже заканчивают. После него просил зайти вас.

-- Хорошо, -- сказал Кондрашин. Положил трубку, подумал: не взять ли с собой чего, чтобы потом не бегать. Поперебирал бумаги, не придумал что брать... Надел пиджак, поправил галстук, сложил губы трубочкой – привычка такая, эти губы трубочкой: вид сразу становился деловой, озабоченный и, что очень нравилось Кондрашину в других, вид человека, настолько погруженного в свои мысли, что уж и не замечались за собой некоторые мелкие странности вроде этой милой ребячьей привычки, какую он себе подобрал, -- губы трубочкой, и, выйдя из кабинета, широко и свободно пошагал по коридору... Взбежал опять по лестнице на третий этаж, бесшумно, вольно, с удовольствием прошел по мягкой ковровой дорожке, смело распахнул дверь приемной, кивнул хорошенькой секретарше и вопросительно показал пальцем на массивную дверь
"шефуни".

-- Там еще, -- сказала секретарша. -- Но они уже заканчивают.

Кондрашин свободно опустился на стул, приобнял рукой спинку соседнего стула и легонько стал выстукивать пальцами по гладкому дереву некую мягкую дробь. При этом сосредоточенно смотрел перед собой -- губы трубочкой, брови чуть сдвинуты к переносью -- и думал о секретарше и о том помпезном уюте, каким издавна окружают себя все "шефы", "шефуни", "надшефы" и даже "подшефы". Вообще ему нравилась эта представительность, широта и некоторая чрезмерность обиталища "шефов", но, например, Долдон Иваныч напрочь не умеет всем этим пользоваться: вместо того, чтобы в этой казенной роскоши держаться просто, доступно и со вкусом, он надувается как индюк, важничает. О секретарше он подумал так: никогда, ни с какой секретаршей он бы ни в жизнь не завел ни самого что ни на есть пустого романа. Это тоже... долдонство: непременно валандаться с секретаршами. Убогость это, неуклюжесть. Примитивность. И всегда можно погореть...

Дверь кабинета неслышно открылась... Вышел начальник отдела кадров. Они кивнули друг другу, и Кондрашин ушел в дерматиновую стену.

Дмитрий Иванович, "шефуня", был мрачноват с виду, горбился за столом, поэтому получалось, что он смотрит исподлобья. Взгляд этот пугал многих.

-- Садитесь, -- сказал Дмитрий Иванович. -- Читали? -- и пододвинул Кондрашину сегодняшнюю областную газету.

Кондрашин никак не ждал, что "шефуня" прямо с этого и начнет – с газеты. Он растерялся... Мысли в голове разлетелись точно воробьи, вспугнутые камнем. Хотел уж соврать, что не читал, но вовремя сообразил, что это хуже... Нет, это хуже.

-- Читал, -- сказал Кондрашин. И на короткое время сделал губы трубочкой.

-- Хотел обсудить ее до того, как послать в редакцию, но оттуда позвонили -- срочно надо. Так вышло, что не обсудил. Просил их подождать немного, говорю: "Мои демократы мне за это шею намылят". Ни в какую. Давайте, говорите теперь -- постфактум. Мне нужно знать мнение рабтников.

-- Ну, это понятно, почему они торопились, -- начал Кондрашин, глядя на газету. Он на секунду-две опять сделал губы трубочкой... И посмотрел прямо в суровые глаза "шефуни". -- Статья-то именно сегодняшняя. Она сегодня и нужна.

-- То есть? -- не понял Дмитрий Иванович.

-- По духу своему по той... как это поточнее -- по той деловитости, конкретности, по той простоте, что ли, хотя там все не просто, именно по духу своему она своевременна. И современна, -- Кондрашин так смотрел на грозного "шефуню" -- простодушно, даже как-то наивно, точно в следующий момент хотел спросить: "А что, кому-нибудь неясно?"

-- Но ведь теперь же все с предложениями высовывают-ся, с примерами...

-- Так она вся -- предложение! -- перебил начальника Кондрашин. – Она вся, в целом, предлагает... зовет, что ли, не люблю этого слова, работать не так, как мы вчера работали, потому что на дворе у нас -- одна тысяча девятьсот семьдесят второй. Что касается примеров... Пример -- это могу я двинуть, со своего, так сказать, места, но где же то-гда обобщающая мысль? Ведь это же не реплика на совещании, это статья, -- и Кондрашин приподнял газету над столом и опустил.

-- Вот именно, -- сказал "шефуня". -- Примеров у меня -- вон, полный стол, -- и он тоже приподнял какие-то бумаги и бросил их.

-- Пусть приходят к нам в отделы -- мы их завалим при-мерами, -- еще сказал Кондрашин.

-- Как с отчетом-то? -- спросил Дмитрий Иванович.

-- Да ничего... Все будет в порядке.

-- Вы там смотрите, чтоб липы не было, -- предупредил Дмитрий Иванович. -- Консультируйтесь со мной. А то наво-рочаете...

-- Да ну, что мы... первый год замужем, что ли? -- Кондрашин улыбнулся простецкой улыбкой.

-- Ну-ну, -- сказал Дмитрий Иванович. -- Хорошо, -- и кивнул головой. И потянулся к бумагам на столе.

Кондрашин вышел из кабинета.

Секретарша вопросительно и, как показалось Кондрашину, с ехидцей глянула на него. Спросила:

-- Все хорошо?

-- Да, -- ответил Кондрашин. И подумал, что, пожалуй, с этой дурочкой можно бы потихоньку флиртануть -- так, недельку потратить на нее, потом сделать вид, что ничего не было. У него это славно получалось.

Он даже придержал шаг, но тут же подумал: "Но это ж деньги, деньги!.." И сказал: -- Вы сегодня выглядите на сто рублей, Наденька.

-- Да уж... прямо, -- застеснялась Наденька.

"Совсем дура, -- решил Кондрашин. -- Зеленая".

И вышел из приемной. И пошел по ковровой дорожке... По лестнице на второй этаж не сбежал, а сошел медленно. Шел и крепко прихлопывал по гладкой толстой перилине ладошкой. И вдруг негромко, зло, остервенело о ком-то сказал:

-- Кр-ретины.

Писатель Евгений Попов о писателе Шукшине: "Этого мужика из деревни в сапогах уважало все киношное сообщество"[65]

Гость нынешних Шукшинских чтений писатель Евгений Попов проснулся знаменитым в 1976 году, после того как "Новый мир" опубликовал подборку его рассказов с очень доброжелательной рецензией Шукшина. Василия Макаровича он считает своим учителем.

– Вы сказали, что учились у Шукшина терпимости. Может, терпению?

– Терпимости, толерантности. Не бросаться на людей, как собака. Люди разные, среди его персонажей есть отвратительные и омерзительные. Но мы живем рядом с ними, и, если мы начнем хватать друг друга за глотки, ничего хорошего не будет.

– Мне кажется, агрессия в обществе и нетерпимость к чужому мнению все возрастает: думаешь не так, как я, – гад ты, к стенке тебя.

– Как ни странно, я думаю, что сейчас уровень терпимости выше, чем тогда. И в этом заслуга Шукшина тоже. У него были крайности, но он был человеком, который работал над собой. Он, как мне рассказывала Ахмадулина, иногда корчил из себя деревенского, особенно поначалу. Он был очень умный и хитрый мужик: "из деревни, в сапогах", а сам эрудированный, неслучайно его уважало все киношное сообщество. Мне кажется, в этом смысле ему сильно помогло кино. Когда человек поступает в литературный институт, он попадает в замкнутое пространство. Языками тогда почти никто не владел, писателей западных не знали, и что там делается на Западе… А вот во ВГИКе заставляли смотреть западные фильмы. И Шукшин с Алтая прекрасно знал западную культуру, западное кино по крайней мере. И это чувствуется. Очень высокий уровень и кинокультуры, и культуры прозы, чем он и отличается для меня от других "деревенщиков". Я его не считаю "деревенщиком", кстати, как не считал "деревенщиком" Астафьева.

– Это все интересно слышать, потому что очень многие считают Василия Макаровича человеком скорее беспощадным ко всему, что он считал злом.

– Он и был беспощадный, он нервный такой был. Когда мы с ним разговаривали, уезжать мне из Красноярска в Москву или за-клюют, я говорю: "У вас-то сейчас все ОК, вы лауреат Госпремии, и все такое прочее…" Он говорит: "Понимаешь, что получается? Из-за моих текстов, из-за моего поведения у меня с каждой публикацией проблемы. Другой лауреат принес – с руками отрывают. Вот сейчас поговорим с тобой, поеду, как проститутка, в гостиницу к редактору из Питера, чтобы он мою подборку опубликовал". Он был колючий, разумеется, но это была самозащита. Он не был мелочным, и он, как мне кажется, не был таким – "все плохо". Этого у него не было. И "все плохие" не было. И "всем воевать" тоже не было.

У меня два учителя – Аксенов и Шукшин, два Василия. Причем я с Аксеновым беседовал много о Шукшине.

– А что Аксенов говорил о Шукшине?

---

[65] 29 июля 2011, 09:26. Культура - http://altapress.ru/story/pisatel-evgeniy-popov-o-pisatele-shukshine-etogo-muzhika-iz-derevni-v-sapogah-uvazhalo-vse-kinoshnoe-soobshchestvo-70455

– Что он замечательный писатель, но темный человек. Темный. Я ему доказывал, что это не так. Посмотри, говорил, у тебя в рассказе "На полпути к Луне" Кирпиченко – совершеннейший шукшинский чудик. Я думаю, что Аксенова в какой-то степени убедил, я ему говорил: "У вас даже биографии одинаковые. У тебя родители сидели оба, а у Шукшина отца расстреляли. А то, что темный он, – что же он, темный, такие фильмы снимал?" То есть, понимаете, я это к чему? Репутация у Шукшина такая, что с этого боку они считали его – давайте прямо говорить – почвенником и антисемитом. Был такой писатель Фридрих Горенштейн, у него есть пьеса под названием "Споры о Достоевском". Там евреи заседают в ученом совете, принимают диссертации на тему "Атеизм Достоевского", а полусумасшедший русский талантливый человек Васька Чернокопов, влюбленный пьяница, ходит по Москве с портфелем, где у него восемь томов Достоевского, и отпускает антисемитские реплики. Так вот, Горенштейн, который был таким стопроцентным евреем, даже грассировал специально, сказал, что прототип этого Васьки – Шукшкин, он терпеть не мог Шукшина. Я ему и сказал: вот видишь, ты его терпеть не можешь, а он толерантнее тебя был, получается.

– Есть сейчас, по-вашему, в русской литературе фигура, равная Шукшину? Вообще, большие писатели?

– Понимаете, это очень больной и сложный вопрос. Я сам сейчас растерян. В последние несколько лет ушли из жизни такие столпы, как Ахмадулина, Вознесенский, Астафьев, Аксенов… К ним по-разному можно было относиться, любить, не любить, но это были краеугольные камни. Это разные люди, из разных кланов, разных возрастов… Я даже не знаю, как объяснить, они все были личностями, со своими – я на жаргоне скажу – тараканами. Они не были ординарными. Астафьев, пожалуйста, – одно время его обвиняли в том, что он антисемит, потом его обвинили в том, что он продался либеральной буржуазии. Аксенов, который считался западником, получил презрение от либеральной интеллигенции, потому что был за Путина в чеченской войне, и его позиция стоила ему очень дорого – он должен был быть президентом ПЕН-клуба, а после его выступления в 2000 году все эти разговоры прекратились.

Вот в новом поколении литераторов я яркой личности не вижу. Может быть, плохо смотрю, но я не вижу. К сожалению, многое сейчас встало на коммерческие рельсы, даже протест.

Я не говорю про Дарью Донцову – она милый человек. Мы как-то с ней выступали, она говорит: "Женя, вам не обидно, что наши книги миллионными тиражами выходят, а ваши..." Я говорю: "Мне не обидно, у нас разные профессии. Вы посредством литературы делаете деньги, а я занимаюсь другим, я тексты пишу. Не знаю, лучше это, хуже, но это другие дела". Она умная женщина, не обиделась. Так вот, я не говорю про коммерческих писателей, но дело в том, что я вижу молодых людей, которые рассчитывают свои эпатажные действия. Они знают, что если сейчас написать матом…

– "Грамотно расфасованный и тщательно упакованный протест против общества"?

– Да. Но это, опять же, их дела. Как мне говорил старый поэт Семен Липкин, главное не путать бардак с синагогой. В бардаке как в бардаке, а в церкви как в церкви. Есть же люди, которым на все это наплевать, и они просто работают как писатели. Редкие – но они есть.

Владимир Войнович

Справочный материал

Влади́мир Никола́евич Войно́вич (род. 26 сентября 1932, Сталинабад, Таджикская ССР) — русский прозаик, поэт и драматург.

Владимир Войнович родился в Сталинабаде, в семье журналиста, ответственного секретаря республиканской газеты «Коммунист Таджикистана» и редактора областной газеты «Рабочий Ходжента» Николая Павловича Войновича (1905—1987), родом из уездного городка Новозыбкова Черниговской губернии (ныне Брянской области). В 1936 году отец был репрессирован, после освобождения — в действующей армии на фронте, был ранен и остался инвалидом (1941). Мать — сотрудница редакций тех же газет (впоследствии учительница математики) — Розалия Климентьевна (Ревекка Колмановна) Гойхман (1908—1978), родом из местечка Хащеватое Гайворонского уезда Херсонской губернии (ныне Кировоградской области Украины).

После ареста отца в 1936 году жил с матерью, дедушкой и бабушкой в Сталинабаде. В начале 1941 года отец был освобождён, и семья переехала к его сестре в Запорожье. В августе 1941 года был с матерью эвакуирован на хутор Северо-Восточный (Ипатовский район Ставропольского края), где после направления матери в Ленинабад жил с родными отца и поступил во второй класс местной школы. Из-за наступления немцев семье вскоре пришлось вновь эвакуироваться — в Управленческий городок Куйбышевской области, куда летом 1942 года из Ленинабада приехала его мать. Присоединившийся к ним после демобилизации отец нашёл работу счетоводом в совхозе села Масленниково (Хворостянский район), куда перевёз семью; в 1944 году они вновь переехали — в деревню Назарово (Вологодская область), где брат матери Владимир Климентьевич Гойхман (1899—?) работал председателем колхоза, оттуда в Ермаково.

В ноябре 1945 года с родителями и младшей сестрой Фаиной вернулся в Запорожье; отец устроился в многотиражку «За алюминий», мать (после окончания педагогического института) — учителем математики в вечернюю школу. Окончил ремесленное училище, работал на алюминиевом заводе, на стройке, учился в аэроклубе, прыгал с парашютом.

В 1951 год был призван на службу в армию, сначала служил в Джанкое, затем до 1955 года в авиации в Польше (в Хойне и Шпротаве). Во время военной службы писал стихи для армейской газеты. В 1951 году его мать была уволена из вечерней школы и родители переехали в Керчь, где отец устроился в газету «Керченский рабочий» (в которой под псевдонимом «Граков» в декабре 1955 года были опубликованы присланные ещё из армии первые стихи писателя). После демобилизации в ноябре 1955 года поселился у родителей в Керчи, закончил десятый класс средней школы; в 1956 году его стихи были вновь опубликованы в «Керченском рабочем».

В начале августа 1956 года приехал в Москву, дважды поступал в Литинститут, проучился полтора года на историческом факультете Педагогического института имени Н. К. Крупской (1957—1959), ездил на целину в Казахстан, где написал свои первые прозаические произведения (1958).

В 1960 году устроился редактором на радио. Написанная вскоре на его стихи песня «Четырнадцать минут до старта» стала любимой песней советских космонавтов (фактически их гимном).

Я верю, друзья, караваны ракет

Помчат нас вперёд от звезды до звезды.

На пыльных тропинках далёких планет

Останутся наши следы…

После того как песню процитировал встречавший космонавтов Хрущёв, она получила всесоюзную известность — Владимир Войнович «проснулся знаменитым». К нему тут же стали благоволить «генералы от литературы», Войновича приняли в Союз писателей СССР (1962). Войнович — автор текстов более чем 40 песен.

Публикация повести «Мы здесь живём» в «Новом мире» (1961) также способствовала укреплению славы писателя. Последовавшие со взлётом известности предложения печатать стихи в центральных журналах Войнович отклонил, желая сосредоточиться на прозе. В 1964 году принял участие в написании коллективного детективного романа «Смеётся тот, кто смеётся», опубликованного в газете «Неделя».

Роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», писавшийся с 1963 года, ходил в самиздате. Первая часть была опубликована (без разрешения автора) в 1969 году во Франкфурте-на-Майне, а вся книга — в 1975 году в Париже.

В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что вызвало конфликт с властями. За свою правозащитную деятельность и сатирическое изображение советской действительности писатель подвергался преследованию: за ним установил слежку КГБ, в 1974 году был исключён из Союза писателей СССР. Был принят в члены ПЕН-клуба во Франции.

В 1975 году, после публикации «Чонкина» за рубежом, Войновича вызвали для беседы в КГБ, где предложили издаваться в СССР. Далее, для обсуждения условий снятия запрета на издание отдельных его работ его пригласили на вторую встречу — на этот раз в номере 408 гостиницы «Метрополь». Там писатель был отравлен психотропным препаратом, что имело серьёзные последствия, после этого долгое время он плохо себя чувствовал и это сказалось на его работе над продолжением «Чонкина». После данного инцидента Войнович написал открытое письмо Андропову, ряд обращений в зарубежные СМИ и позднее описал этот эпизод в повести «Дело № 34840».

В декабре 1980 года Войнович был выслан из СССР, а в 1981 году указом Президиума Верховного совета СССР лишён советского гражданства.

В 1980—1992 годах жил в ФРГ и США. Сотрудничал с радиостанцией «Свобода».

В 1990 году Войновичу было возвращено советское гражданство, и он вернулся в СССР. Написал свой вариант текста нового гимна России с весьма ироничным содержанием. В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ. В 2003 году — письмо против войны в Чечне.

Живёт в своём доме под Москвой. Член русского ПЕН-клуба.

Библиография

Основные произведения

«Степень доверия» (повесть о Вере Фигнер)

Трилогия о солдате Иване Чонкине:

«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1969—1975),

«Претендент на престол» (1979),

«Перемещённое лицо» (2007)

«Москва 2042» (1986)

«Кот домашний средней пушистости» (пьеса, 1990, совместно с Г. И. Гориным), по повести «Шапка» (1987)

«Монументальная пропаганда» (2000) — сатирическая повесть, продолжающая некоторые сюжеты «Чонкина» и посвященная феномену «массового» сталинизма

«Портрет на фоне мифа» — книга, посвящённая Александру Солженицыну и сложившимся вокруг него мифам (2002)

«Автопортрет. Роман моей жизни» (автобиографический роман, 2010)[26]

Публикации, издания

В СССР

Мы здесь живём [повесть] // Новый мир. 1961. № 1.

Расстояние в полкилометра [рассказ]. Хочу быть честным [повесть] // Новый мир. 1963. № 2.

Мы здесь живём. — М.: Советский писатель, 1963

«Смеётся тот, кто смеётся» (роман) // «Неделя», апрель-июль 1964 г. (один из девяти авторов)

Два товарища [повесть] // Новый мир. 1967. № 1.

«Мы здесь живём»; «Два товарища», «Владычица» [повести]. — М.: Советский писатель, 1972. — 256 с.

Степень доверия. Повесть о Вере Фигнер. — М.: Политиздат, 1972. — 384 с. (Серия «Пламенные революционеры»).

За рубежом

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина [Часть 1] // Грани (Франкфурт-на-Майне), 1969, № 72.

Путём взаимной переписки [повесть] // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1973. № 87-88.

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина YMCA-Press (Париж), 1975.

Происшествие в «Метрополе» // Континент (Париж), 1975, № 5.

Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру. Ардис (Анн Арбор), 1976.

Претендент на престол [вторая книга «Чонкина»] // YMCA-Press, 1979.

Писатель в советском обществе // Посев (Франкфурт-на-Майне), 1983, № 9. С.32.

Если враг не сдается…: Заметки о социалистическом реализме // Страна и мир (Мюнхен), 1984, № 10.

Фиктивный брак [водевиль] // Время и мы (Нью-Йорк), 1983, № 72,

Трибунал [пьеса]. Lnd., 1985

Антисоветский Советский Союз [книга очерков]. Ардис (Анн Арбор), 1985.

Москва 2042 Ардис (Анн Арбор), 1986.

Подписной абонемент на собрание сочинений Владимира Войновича. СССР, 1991 г.

В СССР периода перестройки и в России

Журнальные

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина // «Юность». 1988. № 12; 1989. № 1—2.

Трибунал. Судебная комедия в 3 д. / Предисл. М. Швыдкого // Театр. 1989. № 3. С. 2—37.

Путём взаимной переписки // Дружба народов, 1989, № 1.

Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру // Дружба народов, 1989, № 12.

Дело № 34840 // Знамя. 1993. № 12.

Антисоветский Советский Союз // Октябрь. 1991. № 7. С. 65—110. То же:

Монументальная пропаганда // Знамя. 2000. № 2—3.

Книги[править | править код]

Хочу быть честным. — М.: Московский рабочий, 1989.

Хочу быть честным. — М.: СП «Вся Москва», 1990

Нулевое решение [сб. статей]. — М.: 1990. — 46 с. — («Библиотека „Огонёк“». № 14)

Малое собрание сочинений в 5 томах. — М.: Фабула, 1993—1995.

Москва 2042. — М.: Вся Москва, 1990. — 350 с. То же: в сборнике Вечер в 2217 году (Серия «Утопия и антиутопия XX века»). — М.: Прогресс, 1990. — С. 387—716. — ISBN 5-01-002691-0.

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина / Послесловие Б. Сарнова. — М.: Книжная палата, 1990.

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. — Владивосток, 1992.

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. — Новосибирск, Пасман и Шувалов, 1993.

Москва 2042. — Петрозаводск: Карэко, 1994.

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. — Петрозаводск: Карэко, 1994.

Дело № 38840. — М.: Текст, 1994.

Владимир Войнович // Русское богатство: Журнал одного автора. — 1994. № 1 (5).

Замысел. — М.: Вагриус, 1995. — 366 с. — ISBN 5-7027-0088-0;

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Кн. 1-2. — М.: Вагриус, СПб.: Лань, 1996.

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина — М.: Вагриус, 1996

Сказки для взрослых [«Москва 2042», сказки]. — М.: Вагриус, 1996. — 448 с. — ISBN 5-7027-0345-6

Запах шоколада: Рассказы. — М.: Вагриус, 1997

Москва 2042. — М.: Вагриус, 1999. — ISBN 5-264-00058-1.

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. — М.: Вагриус, 1999.

Замысел. — М.: Вагриус, 1999. — 544 с. — ISBN 5-264-00057-3

Монументальная пропаганда: Роман. — М.: Изограф, 2000. — 384 с. — ISBN 5-87113-092-5, 5-04-003970-0. — 2001.

Антисоветский Советский Союз: Документальная фантасмагория в 4-х частях. — М.: Материк, 2002. — 416 с. — ISBN 5-85646-060-X

Замысел. — М.: Эксмо, 2003

Москва 2042. — М.: Эксмо, 2004. — ISBN 5-699-07531-3.

Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича // 2005, публикация в «Новых Известиях» (2006)

Два товарища: Повести. — М.: Эксмо, 2007. — ISBN 5-699-20039-8

Москва 2042. — М.: Эксмо, 2007. — ISBN 978-5-699-24310-5.

Деревянное яблоко свободы: Роман о переломном периоде в истории России [переиздание романа «Степень доверия: Повесть о Вере Фигнер» с оригинальным названием][27] М.: Эксмо, 2008. — 384 с. — ISBN 978-5-699-29401-5

Автопортрет. — М.: Эксмо, 2010

Два плюс один в одном флаконе. — М.: Эксмо, 2010

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. — М.: Эксмо, 2010

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина: в 2 т. — СПб.: Вита Нова, 2014

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. — М.: Эксмо, 2015

Малиновый пеликан. — М.: Эксмо, 2016. — 352 с. — (Классическая проза Владимира Войновича). — 20 000 экз. — ISBN 978-5-699-88321-9.[28]

Сказка о глупом Галилее (сборник)

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=144627&lfrom=159481197

«Сказка о глупом Галилее (сборник)»: Эксмо; М.; 2010

ISBN 978-5-699-39557-6

Владычица

Эту историю слышал я от многих людей. Одни говорили, что все это случилось давным-давно, не то в тринадцатом, не то в четырнадцатом веке, где-то в Сибири, другие – на Волге, а старики стояли на том, будто это произошло на Севере, у холодного моря. Я поверил старикам и представил себе, как это все было.

Между морем и лесом стояла деревня. Лето здесь было короткое, земля скудная, и люди занимались в основном охотой и рыбной ловлей.

Правил людьми некий Дух, хозяин моря и леса. Он помогал им в охоте и в рыбной ловле, защищал от злых сил, от голода и болезней и строго наказывал за отступничество.

А для осуществления воли его был на земле у Духа свой представитель – его жена, Владычица, которую выбирали для Духа старейшие и мудрейшие. Жила она в высоком тереме, стоявшем в стороне от деревни, и люди ходили к ней со своими горестями и радостями, просили совета в трудных случаях, благодарили подарками за удачу.

Но Владычица была смертна, как и простые люди, и, когда она умирала, старейшие и мудрейшие подыскивали ей замену, отбирали из молоденьких девушек самую красивую, самую ловкую и, конечно же, самую умную.

Стоял солнечный, веселый весенний день. В полуразвалившемся стогу сена недалеко от деревни сидели Манька и Гринька и, пользуясь тем, что никто их не видит, обнимались и целовались без всякой меры. Но когда Гринька позволил своим рукам лишнее, Манька его оттолкнула.

– Ты чего? – спросила она сердито.

– А чего? – сказал Гринька, смутившись. – Я ничего.

– Ну да – ничего. Гулять гуляй, а рукам воли не давай.

– Да я ведь так просто… – Гринька поискал слово, – по-суседски.

Манька засмеялась и шутя стукнула его по голове.

– Вот дурак, скажет тоже. Разве ж по-суседски лазют куда не след?

– А куда лазют? – невинно поинтересовался Гринька.

Манька отвернулась от него, запрокинула голову, подставляя лицо теплому весеннему солнцу.

– А и правда ты непутевый. Не зря тебя дразнят так.

– Ну уж прямо сразу и непутевый, – возразил Гринька. – А у путевых откуль дети родятся?

– Вот язык! Несет, сам не знает чего. Нет, Гринюшка, я так не хочу.

– А как хочешь? – поинтересовался Гринька.

– Хочу, чтоб все было как у людей. Чтоб свадьба была на всю деревню, чтоб брагу пили, чтоб песни пели. Хочу быть женой.

– Да я что, я разве против? – сказал Гринька. – Я уже с тятькой обо всем договорился. Вот в море по рыбу сходим, засылаю сразу к тебе сватов, и идем к Владычице под святое благословение.

– Правда? – обрадовалась Манька.

– Что ж я врать буду?

Манька коснулась своим плечом плеча Гриньки. Гринька, не теряя времени даром, тут же вцепился в Маньку. Но Манька была начеку и, чтоб дело не заходило слишком далеко, опять оттолкнула Гриньку.

– А ты как, сразу и ко мне, и к Анчутке косой свататься будешь или по очереди? – спросила она.

– А при чем тут Анчутка? – удивился Гринька.

– Как будто я не видала, как ты вчерась с ней на завалинке лапался.

– Да это ж я так, – смутился Гринька, – ну от нечего делать.

– По-суседски, – скосила глаз Манька.

– Ну да.

– Ну и слезай отседова, – рассердилась Манька. – Иди к своей косой и хоть лапай ее перелапай, а здесь нечего сено чужое толочь.

Она опять от него отвернулась. Гринька сидел надувшись, но слезать с сена не собирался.

– Слышь, Манька, – сказал он ей, помолчав, – ты это… Да и кто она есть, коль сравнить с тобой? Страшилище, да и все.

– А еще кто? – спросила Манька.

– Косая, – с готовностью ответил он.

– А еще?

– Рябая.

– А еще? – потребовала Манька.

– Горбатая, – ляпнул Гринька, ничего не придумав.

– Ну зачем уж лишнее говорить! – ласково упрекнула она, придвигаясь к Гриньке.

Гринька, осмелев, опять полез обниматься, но она, вдруг испугавшись чего-то, ткнула его лицом в сено, сама упала рядом и затаилась.

Со стороны деревни к стогу подошла маленькая пожилая женщина с темным лицом. Это была Манькина мать – Авдотья.

– Манька! – позвала она, задрав голову к стогу.

Ей никто не ответил.

– Манька, слышь, что ли, нечистый тебя заешь! – Она схватила торчавшую из сена Манькину ногу и потащила к себе.

Вместе с Манькой сполз Гринька. Они стояли перед Манькиной матерью, осыпанные сеном, и смущенно переминались с ноги на ногу. Авдотья посмотрела на них грустно, но без укора и, едва разжав губы, тихо сказала:

– Матушка, наша Владычица, преставилась нынче в обед.

Авдотья повернулась и пошла обратно к деревне.

В стороне от деревни, ближе к морю, стоял высокий, огороженный забором терем – жилье Владычицы. Вдоль аккуратной дорожки, между теремом и калиткой, выстроились в два ряда старухи, одетые в черное. Народ толпился снаружи, налегая на забор. Тут же ходил горбатый мужик, покрикивая:

– Эй, народ, не толпись! Осади, окаянные, вы же забор повалите!

К Гринькиному отцу Мокею подошел сосед Фома. Спросил тихо:

– Ну, что слыхать?

– Говорят, обмыли, обрядили, выносить будут, – отвечает Мокей.

– Ой, не вовремя это все! Кабы зимой… А то ведь хлеб сеять надо, в море по рыбу надо идтить, Афанасьич на завтра наказывал лодки готовить, а теперь что ж?

– А у меня, слышь, тоже вот все прахом пошло, – признался Мокей. – Гриньку я собирался женить. Время горячее, хозяйка нужна, а теперь все откладывай – когда это будет новая Владычица! Да и будет ли?

Сквозь толпу пробирался Гринька, отыскивая глазом кого-то, должно быть Маньку, и наткнулся на двух старух, которые вполголоса толковали между собой, обсуждая подробности:

– Два дня у ней жар был и поясницу ломило, а вчера до свету еще поднялась, вышла на крылечко. Тут к ней Никитка подошел, она его заговорила от дурного глаза. А нянька Матрена ей еще говорит: «Вот, матушка, поднялась ты все же. Авось и пройдет». А она говорит: «Нет, Матренушка, не пройдет. Чую я, святой Дух зовет уж меня к себе, требует. Слышь, все шумит, шумит». Матрена послухала, а чего она может услыхать? Если он и шумит, так не для нас же. Сказала так матушка, а сама поднялась и еще говорит: «Каши хочу пшенной с молоком». И пошла к себе в покои. Матрена каши наварила, приносит…

Гринька протиснулся к говорившей старухе:

– Какой, бабушка, каши?

– Пшенной, милок, пшенной, – заискивающе заулыбалась старуха. – Я-то сама не знаю, народ говорит, будто пшенной.

– А улыбаешься ты чего? – спросил Гринька. – Весело, что ли?

Старуха быстро согнала улыбку и поспешно изобразила на лице своем скорбное выражение.

– Вот так, – сказал Гринька. – Так красивей.

В это самое время Манька стояла чуть поодаль, уткнувшись носом в забор, и смотрела в дырку от выпавшего сучка. В дырке видна была часть двора, где под аккуратно сложенной поленницей лежала сонная клуша с выводком желтых цыплят. Мимо прошлепали чьи-то босые ноги, клуша забеспокоилась, подняла голову, но ноги прошли, и она снова впала в дремоту. Подошел кто-то сзади и дохнул прямо в ухо:

– Слышь, Манька, дай поглядеть.

Манька, не оборачиваясь, узнала Анчутку Лукову.

– Уйди, – сказала Манька, пихая Анчутку плечом.

– Слышь, Манька, ну пусти, хоть одним глазком, – тон у Анчутки смиренный, просительный.

Но Манька не удержалась, съязвила:

– Да куды ж тебе им глядеть? Глазок-то у тебя косой.

– А у тебя не косой? – теперь Анчутка пихнула Маньку плечом.

– А у меня не косой, – Манька пихнула ее обратно.

– А у тебя ноги кривые, – снова толкнула Анчутка.

– У меня кривые? – возмутилась Манька. – На вот, погляди, где у меня кривые?

Анчутка стала приседать и подпрыгивать.

– А вот и кривые, кривые, кривые…

С диким воплем Манька вцепилась сопернице в волосы. Та ответила тем же. Обе повалились на землю, стали барахтаться. Манька ухватила Анчутку за ухо, а Анчутка Маньке укусила плечо.

Толпа разделилась. Часть по-прежнему ожидала выноса тела, другая наблюдала за поединком. Раздавались возгласы и советы.

– Дави ее, Манька, дави.

– Анчутка, не поддавайся.

– Манька, ухо оторвешь – не выбрасывай, засолим.

– Анчутка, кусай ее за нос.

Подлетела мать Маньки.

– Да вы что, оглашенные? Манька, слышь, ты чего это удумала? В такой-то день! А ты, зараза косая! – Она схватила Анчутку за руку и потянула к себе.

Подоспела и мать Анчутки.

– Это кто косая, кто косая? – закричала она. – Моя девка косая?

– А то какая ж?

Тут мать Анчутки кинулась с воплем на мать Маньки, и в это время кто-то закричал:

– Несут! Несут!

Подбежал горбатый мужик:

– Несут. Слышите, что ля! Да что же вы тут сцепились, чтоб на вас болячка напала!

Кое-как ему удалось разнять дерущихся. Они поднялись с земли, сразу вытянулись, придавая лицам своим чинное выражение. Только Манька не удержалась и шепотом сказала Анчутке:

– Вот я тебе ужо всю морду в кровь раздеру.

– Еще посмотрим, кто кому, – так же шепотом ответила ей Анчутка.

Дверь терема отворилась, сперва показался Афанасьич, высокий старик с белой окладистой бородкой, а за ним мужики, которые на специальных черных носилках несли покойницу, обряженную в белое. И сразу вступил в дело хор старух, стоявших вдоль дорожки. Старуха, стоявшая на правом фланге, запевала, а остальные подхватывали:

Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла?
Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда цвела, когда вызрела?
– Я весной взошла, летом выросла,
Я весной цвела, летом вызрела.
– Под тобою ли, под рябинушкой,
Что не мак цветет, не трава растет,
Не трава растет, не огонь горит,
Растекаются слезы горючие.
А кипят они, что смола кипит,
По душе ль, душе-лебедушке,
По лебедушке, по голубушке,
По голубушке нашей матушке,
Нашей матушке да Владычице.
Улетела ты, что кукушечка,
Разорила ты тепло гнездушко
И оставила своих детушек,
Своих детушек, кукунятушек,
Что по ельничку, по березничку,
По часту леску, по орешничку.
Как заплачут твои кукунятушки:
«На кого же нас ты оставила?
На кого же нас ты спокинула?
Воротись-ко к нам, своим детушкам,
Воротися к нам в тепло гнездушко,
Не лети на чужу дальню сторону,
Дальню сторону, незнакомую».

Толпа зарыдала. Женщины заламывали руки, падали, бились, причитая, о землю.

Процессия двигалась в сторону кладбища, которое расположено возле самого моря.

Чуть поодаль от кладбища вытянулся в одну линию ряд невысоких, поросших редкой травой холмов. За последним холмом – свежевырытая могила.

– Сюда кладите, – приказал Афанасьич, и носилки опустили рядом с могилой.

Старик первый приложился губами ко лбу покойницы и отошел, освобождая место другим. За ним вереницей пошли остальные.

Где-то в хвосте этой очереди двигалась Манька с матерью.

– Мамонька, – спросила дочь, – а как же мы теперь без Владычицы будем жить?

Она задала этот вопрос громко, и мать испуганно дернула ее за рукав. Потом вполголоса объяснила:

– А мы без нее не будем. Это тело ее сносилось, а душа осталась живая. Дух Святой из нее душу вынул и в другое, молодое тело вселил.

– А где ж это тело? – недоверчиво спросила Манька.

– Где-то здесь, – убежденно сказала Авдотья. – Завтра, должно, вызнанье начнется.

– А как это можно вызнать?

– Молчи! – оборвала ее Авдотья.

Подошла их очередь. Авдотья опустилась на колени, приложилась ко лбу Владычицы и уступила место дочери.

Они отошли в сторону. Прошло еще несколько человек. Снова выступил вперед высокий старик и приказал:

– Опускайте!

Подбежали четыре мужика, подвели под носилки жгуты из длинных вышитых полотенец.

Хор старух, выстроившись в стороне от могилы, затянул новую песню:

Со восточной со сторонушки
Подымалися да ветры буйные
Со громами со гремучими,
Со молоньями да с палючими;
Пала с небеси звезда
Все на матушкину на могилушку.
Расшиби-ка ты, громова стрела,
Расшиби-ка ты мать – сыры землю!
Развались-кося ты, мать-земля,
Что на все четыре стороны,
Скройся-ка да гробова доска,
Распахнитеся да белы саваны,
Отвалитеся да ручки белыя
От ретива от сердечушки,
Разожмитеся да уста сахарные!
Обернись-кося да наша матушка
Тут перелетною да соколицею,
Ты слетай-кося да на сине море.
На сине море да Хвалынское,
Ты обмойка-ка, родна матушка,
С белого лица ржавщину,
Прилети-ка ты, наша матушка,
На свой ет да на высок терем,
Все под кутеси да под окошечко,
Ты послушай-ка, родимая матушка,

Горе горьких наших песенок.

И снова зарыдала толпа. Афанасьич первым бросил в могилу горсть земли. За ним прошли остальные по нескольку раз, пока не вырос над могилой небольшой холм.

Утром ходил по деревне горбатый мужик, собирал народ:

– Эй, народ, выходи, никто дома не сиди, будем пить и гулять, Владычицу вызнавать! Эй, народ, выходи…

На деревне заканчивались последние приготовления к торжеству. Топились бани, шипели в утюгах угли, из сундуков вынимались самые лучшие сарафаны и ленты. Распаренные, красные, взволнованные девки и не меньше их взволнованные матери носились по дворам, суетились – событие предстояло серьезное.

Вот Анчутка только что после бани придирчиво осматривает свой наряд, одеваясь с помощью матери. Вот на другом дворе какая-то девка застыла над бочкой с водой, пытается разглядеть свое отражение, поправляет прическу.

Некрасивое, нескладное существо стоит посреди избы, напялив на себя все, что можно. Ее мать сидит на лавке и не скрывает своего полного восхищения:

– Уж какая красавица, какая красавица! – радуется она. – А уж зубы, ну чистый жемчуг!

«Красавица» самодовольно улыбается.

Тем временем на опушке леса в ожидании предстоящего торжества собирались жители деревни: мужики, бабы, дети.

Два здоровых парня притащили большой неструганый стол и опрокинутую на него лавку. Подошли Афанасьич с Матреной, нянькой Владычицы.

– А сама Владычица перед смертью ничего не говорила, не намекала? – допытывался старик у Матрены, следя за парнями, устанавливавшими стол на траве.

Матрена ответила, подумав:

– Да говорила еще по осени про Таньку Николину, так она ж замуж за Степку вышла.

Афанасьич хмыкнул:

– Да она хоть бы и не вышла, куда ей, тупая! Ну ладно, поглядим. – Он отошел от Матрены. – Здорово, старички! – сказал, подойдя к группе седобородых дедов, стоявших особняком.

– Здорово, Афанасьич! – хором ответили старички.

Афанасьич обошел всех, каждому пожал руку.

А Манька еще сидела в своей избе, на лавочке у окошка, и смотрела на улицу. Мать стояла возле нее, уговаривала:

– Слышь, доченька, собирайся, пойдем.

– Не пойду, – уперлась Манька.

– Доченька, да как же так? – в нетерпении всплеснула руками Авдотья. – Народ-то уж давно собрался, а нас все нету.

– А нам там неча делать. Я ж тебе говорю, нету во мне ничьей души, окромя моей собственной.

– Да откуда ж ты знаешь? – сердилась мать. – Откуда тебе это ведомо? Это старики еще вызнавать будут, у Духа Святого выспрашивать.

– А чего там выспрашивать? Неужто я в себе другую душу-то не почуяла б? А то все как было, так есть, как хотела я с Гринькой жить, так и сейчас хочу.

– Ах ты, охальница! – закричала мать. – Да как ты можешь таки-то слова говорить. Вот услышит тебя Дух, покарает.

– Не покарает, – уверенно сказала Манька. – Он ведь знает, что в душе моей нет ничего, окромя только Гриньки.

– Вот я сейчас отца позову, он из тебя вожжой всю дурь твою вышибет.

Мать вышла на крыльцо и увидела мужа, который лежал на сене возле крыльца, бормотал что-то бессвязное.

Мать посмотрела на него осуждающе, покачала головой:

– Эх, охламон, надрызгался!

– Иди гуляй, – сказал муж, не оборачиваясь.

– Я вот тебе погуляю. А ну, вставай! – Она сбежала с крыльца и ткнула его носком лаптя.

– Ну чего?

– Чего-чего! Пьянь несчастная. Владычицу вызнавать надо идти, а дочь твоя упирается.

– Ну и что? – беспечно спросил он, все еще надеясь, что его оставят в покое.

– Я тебе покажу – что! А ну подымайся! – Она опять ткнула его лаптем, но уже изо всей силы.

– Ты что, Авдотьюшка? – Он быстро вскочил на ноги. – Сказала б по-людски: так, мол, и так, дело есть, вставай, а ты сразу бьешься…

– Иди-иди, – она подтолкнула его кулаком в спину.

Манька сидела на прежнем месте, глядела в окошко, не обращая никакого внимания на вошедшего в избу отца. Отец растерянно посмотрел на Авдотью.

– Ну, чего делать? – спросил он.

– Прикажи дочери, пущай собирается.

– Дочка, собирайся, – послушно сказал отец.

Дочь пропустила эти слова мимо ушей.

– Ну что ж ты за отец? – сказала Авдотья презрительно. – Ты говоришь, а она тебя и слухать не хочет. Да ты сними вон вожжу и поучи, как следовает быть в таком разе. Бери, говорят тебе, – она схватила вожжу и хлестнула отца по заду так, что он подскочил от боли.

– Что же ты дерешься-то? Больно ведь! – закричал отец. Он взял вожжу и, подойдя к дочери, сказал ласково: – Поди, дочка, добром, не то ведь она меня совсем зашибет.

Манька промолчала. Мать подошла и повалила ее на лавку, сама села ей на ноги. Отец все еще растерянно топтался перед распластанной на лавке дочерью.

– Доченька, – сказал он, – ты же видишь, я не хочу, а она меня заставляет.

– Заставляет, так бей! – закричала Манька. – Хоть убей совсем, все одно никуда не пойду.

Отец еще потоптался и нехотя взмахнул вожжой.

– Да куда ж ты бьешь, глупая голова? – сказала мать. – Платье попортишь, а оно у нее одно.

Она задрала дочери подол и сказала удовлетворенно:

– Теперь бей, да покрепче, пока самому не попало.

Отец бил Маньку долго. Она лежала молча, сцепив зубы от боли, и только вздрагивала. Потом не выдержала.

– Хватит драться, – сказала она. – Пойду. Ищите во мне душу святую, может, чего и найдете.

Отец сложил вожжи. Мать встала с лавки.

– Так бы и давно, – сказала она.

Манька сползла с лавки, поправила платье. Морщась от боли, схватилась рукой за побитое место.

– Обормоты проклятые! – простонала. – Дочь родную до смерти засечь готовы.

Вышли втроем во двор. Мать с дочерью пошли к калитке, а отец остался возле крыльца.

– А ты не пойдешь, что ли? – обернулась Авдотья.

– Приду опосля, – сказал отец. – По хозяйству еще надо заняться.

– Уж ты приходи, – попросила Авдотья. – А то неудобно: народ соберется, а тебя нет. Праздник ведь.

– А как же, праздник, – охотно согласился отец.

Он подождал, пока жена с дочерью скрылись за углом соседней избы, и улегся на старое место.

На поляне за столом сидели бородатые старики, человек шесть-семь во главе с Афанасьичем, и разглядывали очередную претендентку.

– Ну-ка, поворотись, – приказал Афанасьич. – Еще. Так. Зубы покажи. Ага. Юбку чуть-чуть подбери, ноги посмотрим. Чем колено ссадила?

– В море, Афанасьич, об камень ударилась, – объяснила девица смущенно.

– А не хромаешь, нет? А пройдись-ка туда-сюда. Ничего, вроде не хромает, – обернулся он к соседу слева.

– Да вроде нет, – сказал сосед слева.

– Ну ладно. Становись туда, – Афанасьич указал на группу девиц, уже прошедших эти странные смотрины. – Кто там еще?

Вышла Анчутка. Платье расшито бисером. На ногах расписные сапожки.

– Ближе подойди, – приказал старик. – Повернись. Зубы покажи. Закрой-закрой, хватит. Сапожки зачем надела? Лапоточков не нашла?

– А на что лапоточки? – бойко спросила Анчутка. – У меня ноги ровные, погляди. – Она приподняла юбку и приспустила немного сапоги.

– Ладно, – сказал старик. – Не надо. – Он повернулся к старику справа: – Ну как?

– Да так, ничего, – шепотом ответил старик. – Косовата немножко.

– Это не беда, – сказал Афанасьич и показал Анчутке один палец: – А ну, погляди сюда. Сколько пальцев?

– Один, – сказала Анчутка.

– А не два? – лукаво спросил он.

– Один, – нагнув голову, упрямо сказала Анчутка.

– Ладно. Становись туда. Следующая.

Вышла некрасивая девушка. Фигура нескладная, глаза маленькие, нос картошкой. Афанасьич переглянулся со стариками и решил:

– Становись обратно.

– А зубы показать? – с надеждой спросила девушка.

– Не надо, – сказал старик, – становись обратно.

Девушка сморщилась и заплакала.

– А чего ж зубы не смотришь? Они у меня знаешь какие – чистый жемчуг.

– Пусть покажет, – пожалел старик справа.

– Покажь, – неохотно согласился Афанасьич.

Она с готовностью широко раскрыла рот.

– Становись обратно, – вздохнул старик. – Кто еще?

– Мы, – вышла мать Маньки.

– Ты, что ли? – удивился старик.

В толпе засмеялись.

– Не я. Дочка моя, Манюшка.

Схватив за руку и выведя из толпы Маньку, она толкнула ее к столу. Манька стояла, опустив голову, насупившись.

– Что такая сердитая? – спросил старик. – Подними голову. Улыбнись.

Манька в ответ сделала рожу.

– Ну и улыбочка! – покачал головой старик.

– С характером девка, – сказал старик справа.

– Материн характер, – сказал Афанасьич. – Слышь, Авдотья, – крикнул он Манькиной матери, – твой характер у дочки?

– Мой, – сердито сказала Авдотья.

Старики засмеялись. Манька посмотрела на них исподлобья и, не сдержавшись, тоже заулыбалась.

– Стань туда, – старик, довольный, показал в сторону, где стояли отобранные.

Десятка полтора неуклюжих рыбацких лодок далеко отошли от берега. Светило солнце, был полный штиль, довольно редкий для холодного моря. Лодки выстроились в линейку носами к берегу, и на каждом носу – будущая Владычица в одной рубашке, потому что в те времена других купальных принадлежностей девушки не имели. Афанасьич на легкой долбленке прошел перед строем лодок, командуя:

– Ровнее, ровнее! Эй, Егорыч, куда вылез вперед? Сдай обратно! Вот так. Ну… – Пристроившись с правого фланга, старик бросил весла и поднял руку.

Манька стояла на третьей от Афанасьича лодке и, кося одним глазом на старика, мелко постукивала зубами то ли от холода, то ли от возбуждения.

– Давай! – Афанасьич резко опустил руку.

Манька вместе со всеми плюхнулась в воду и почувствовала, как обожгло ледяной водой тело и перехватило дыхание. Но тут же на смену первому ощущению пришло другое – ощущение силы и уверенности в себе. Она попеременно выбрасывала вперед руки, и тело ее при каждом взмахе наполовину высовывалось из воды.

На берегу волновались болельщики. Гринька с тревогой вглядывался в плывущих, пытался и не мог различить среди них Маньку, хотя по каким-то признакам и догадывался, что вон та, впереди

всех, – она! Авдотья стояла спокойно, потому что на таком расстоянии не могла разглядеть никого. Но пловчихи приближались. Вот они уже стали доступны для глаз Авдотьи. Авдотья встрепенулась.

– Ну, доченька, – забормотала она, дергая подбородком, – ну еще чуток! Ну!

Когда-то она тоже была молодая и в плавании не знала равных во всей деревне. Но что это? Уже совсем близко, когда до берега осталось саженей двадцать, не больше, Манька вдруг перевернулась на спину и, безмятежно раскинув руки, едва перебирала ногами, лишь бы держаться.

Гринька, стоявший рядом с Авдотьей, облегченно вздохнул. Авдотья посмотрела на него и все поняла.

– Манька! – Она кинулась к самой воде, намочила лапоть и отскочила. – Манька, зараза такая, не будешь плыть, я тебе дам!

Манька слышала ее голос, но не спешила. Такой уговор был с Гринькой – не торопиться. Вот уже кто-то и догоняет ее, часто шлепая ладонями по воде. Пускай догоняет. Манька прижмурила веки, но неплотно, просеивая сквозь узкие щелки солнечные лучи.

– Что, сдохла? Кишка тонка! – услышала рядом злорадный голос.

Манька от неожиданности хлебнула горькой морской воды, перевернулась на живот. Обдав ее брызгами, проплыла мимо и уходила вперед Анчутка. Этого Манька стерпеть не могла. И, забыв о своем уговоре с Гринькой, рванула вперед, словно щука за карасем.

Оживилась на берегу Авдотья:

– Давай-давай, доченька, дави ее, стерву косую.

Засуетился и Гринька.

– Манька, опомнись! – закричал он.

Но уже было поздно – Манька с Анчуткой подгребали к берегу.

Авдотья, подхватив с земли сухую одежду, кинулась к дочери.

– Доченька моя – первая! – радовалась она, обнимая и целуя Маньку.

– Куды уж там первая! – возразила Анчуткина мать. – Моя уж ногами по дну шла, а твоя еще пузыри пускала.

Манька, запыхавшись, ловила ртом воздух и никак не отвечала на Гринькин укоряющий взгляд.

Много еще было между соперницами, если сказать по-теперешнему, состязаний. Бегали наперегонки – кто быстрее, плясали под жалейку – кто лучше, пекли пироги – кто вкуснее.

Последний тур проходил опять на поляне. Опять сидели за столом старики и стоял полукругом народ. Перед судейским столом остались двое – Анчутка и Манька. Одна из них должна стать Владычицей.

Первую загадку загадал Афанасьич:

– «Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. Собака лает, а достать не может».

– Месяц! – закричала, догадавшись, Анчутка.

– Угадала, – одобрил старик. – Может, и еще угадаешь: «Дом шумит, хозяева молчат, пришли люди, хозяев забрали, а дом в окошко ушел».

– Это не знаю, – сказала Анчутка. – Это глупость какая-то. Как может дом в окошко уйти?

– Да вот может, – усмехнулся Афанасьич и повернулся к Маньке: – А ты как думаешь?

– Я думаю, – рассудила Манька, – дом шумит – это море, хозяева молчат – рыба в сети. Сеть вытащили, рыбу забрали, а дом остался.

– Соображает, – встрепенулся маленький подслеповатый старичок, который до этого сидел самым крайним и дремал. – А вот я ей сейчас задам вопрос на засыпку: «Поле не меряно, овцы…» – Он растерянно замигал. – Забыл.

Все засмеялись.

– «Овцы не считаны, пастух рогат», – сказала Манька.

– Я знаю – ночь, – сказала Анчутка.

– Это все знают, – сказал Афанасьич.

– А я еще одну знаю, – выкрикнул маленький старичок. – «Без рук, без ног…»

– Эту не надо, – оборвал его Афанасьич. Он повернулся к Анчутке: – Летело стадо гусей. Мужик увидел и говорит: «Поди вас сто». А гуси ему отвечают: «Кабы нас столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, да ты один, то было бы сто». Сколько было гусей?

– Сто, – сказала Анчутка.

– Ты вникни лучше, – строго сказал старик.

– Кабы столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, да еще мужик…

– Я ж и говорю – сто, – упорно повторила Анчутка.

– Не соображаешь, – сказал Афанасьич и повернулся к Маньке: – А ты как думаешь?

– Ну, значит, так… – Манька стала загибать пальцы. – Без мужика остается девяносто девять. А потом четверть и полстолько, две четверти всего три, два раза по четыре четверти – восемь, восемь и три – одиннадцать, в одной четверти девять, в четырех – тридцать шесть. Тридцать шесть гусей было.

Афанасьич пошептался о чем-то со своими товарищами, потом все вышли из-за стола. Афанасьич взял Маньку за руку, вывел на бугор, повернул лицом к морю и упал вместе с ней на колени. А все остальные повалились на землю ниц, как бы ожидая той кары, которая может последовать, если они что-нибудь не так сделали.

– Дух Святой! – громко сказал старик. – Ты хозяин моря и леса, хозяин над всякой тварью, хозяин над человеком. Вот тебе жена от народа нашего. Хороша ли, плоха ли, может, и не по нраву тебе придется, а лучше нет среди нас. Пусть, Владыка, она будет твоею рабою, а над нами, детьми твоими, Владычицей. Встань, покажись Владыке, – обратился он к Маньке.

Она послушно поднялась и застыла с окаменевшим лицом. И люди подняли головы. И сквозь тучи прорезался тонкий солнечный луч и осветил лица людей.

И в народе прошел шум. Все встали. Кто-то крикнул:

– Слава Владычице! – но крикнул не вовремя.

И Афанасьич поднял руку и сказал, обратившись к Маньке с поклоном:

– Матушка наша, пресвятая Владычица! Дух Святой подает нам знак, что с охотою берет тебя в жены. Служи ему по правде, будь верной до самой смерти. А нарушишь в чем закон верности – ляжешь в землю живая, а народ твой постигнет великая кара. Помни об этом. Ты теперь у нас самая старшая. Ты наша матушка, а мы твои дети.

Манька стояла растерянная и ошалелая, еще не в силах понять и осмыслить всего, что произошло. А старик снова поклонился ей в пояс. Вместе с ним поклонились Владычице все остальные.

И опять кто-то крикнул:

– Слава Владычице! Слава Владычице!

И тут произошло невообразимое. Вся толпа повалилась на землю, все стали исступленно биться о землю, истошно выкрикивая:

– Слава Владычице! Слава Владычице! Слава Владычице!

Бился о землю в поклонах Афанасьич, бился отец Гриньки Мокеич, билась рядом с матерью, рыдая от только что перенесенного позора, Анчутка, и все же вместе со всеми выкрикивая:

– Слава Владычице!

Манька стояла посреди этого вдруг взбесившегося круга и затравленно озиралась, не зная, куда деваться. Увидела старуху, которая ползла к ее ногам впереди других, попятилась и чуть не наступила на старуху, подползавшую сзади. Они ползли отовсюду – справа и слева, тянули к ней руки, и крики их «Слава Владычице!» перешли уже в сплошной вой.

Неожиданно в круг вскочил Гринька. Заметался, переступая через ползущих и орущих людей.

– Эй, люди, вы что, озверели? – закричал он недоуменно. – Что ж это делается?

На кого-то он наступил, кого-то шлепнул по заду. Увидев своего отца, схватил его за шиворот и потряс:

– Эй, тятька, ты что?

Отец отпихнул его и, заорав не своим голосом: «Слава Владычице!» – пополз дальше. Гринька кинулся к Маньке.

– Манька, – закричал он, – да какая ты, к бесу, Владычица? Они же тебя разорвут сейчас. Пошли отсюда!

Он схватил ее за руку и потянул к себе. В это время Афанасьич толкнул в бок ползшего рядом с ним горбуна. Горбун понял приказ и с неожиданной для него ловкостью прыгнул сзади на Гриньку, придавил его и, заглушая Гринькины вопли, заорал:

– Слава Владычице!

По деревне идет толпа празднично одетых людей во главе с рослым парнем, обвязанным расшитыми кушаками и полотенцами. Парень несет на вышитом полотенце хлеб – челпан – подарок невесте. Другой парень рядом несет пирог с рыбой и кувшин вина.

Парень с челпаном по дороге выкрикивает:

Ой да добрые люди,
Гости полюбовные,
Званые и незваные,
Усатые и бородатые,
Холостые и женатые,
У ворот приворотнички,
У дверей притворнички,
Благословляйте!

Народ, толпящийся по бокам, отвечает хором:

– Благословляем!

Дружко, увидев молодых женщин, говорит им:

Молоды молодки,
Хороши походки,
Золоты кокошки,
Серебряны сережки,
Благословляйте!

Женщины, кланяясь, отвечают:

– Благословляем!

Процессия подходит к дверям. У дверей стоят Афанасьич с Матреной. Дружко, кланяясь, обращается к ним:

Сватушка коренной,
Свахонька коренная,
Благословляйте своих детей

В свой терем идти,
Здоровенько спать,
Веселенько вставать,
Нам всем счастье творить.

Афанасьич отвечает с поклоном:

– Благословляем.

– Сватушка коренной, свахонька коренная, звали ли гостей?

– Звали-звали, – отвечает Афанасьич.

– Бьем челом. Было ли вызнаванье, было ли сватовство, было ли обрученье?

– Было.

– Сватушка коренной, свахонька коренная, у нас жених молодой, ясный сокол, золоты кудри, со своими дружками и с подружьем стоим под окном, под небесным облаком, дозволь спросить: ждет нас невеста?

– Ждет, – отвечает Афанасьич, распахивая дверь.

Празднично убранная изба. За столом сидят отец с матерью, в углу возле печки невеста с подружками. Невеста, в нарядном сарафане, с кокошником на голове, сидит напуганная и растерянная, не в силах постигнуть происходящее.

Дружко, входя, громко провозглашает:

– Становитесь, отец на отцово место, мать на материно.

Отец с матерью выходят из-за стола, становятся посреди избы.

Дружко говорит:

– Руки с подносом, ноги с подходом, головы с поклоном, язык с приговором. Идут от нашего жениха, молодого, ясного сокола, дорогие гостиночки честны – немалы. Примете аль не примете?

– Примем, – отвечает перепуганный в смерть отец.

Дружко снимает с блюда вино, протягивает отцу, а матери – пирог с рыбой. Родители принимают гостинцы.

Дружко поворачивается в угол к невесте:

– Идут к невесте-молодице от нашего жениха, молодого, ясного сокола, дорогие гостиночки честны – немалы. Примете аль не примете?

– Примем, – говорит отец.

– Со светом али без свету?

– Со светом, – отвечает отец.

Дружко вынимает из-за пазухи свечу, зажигает от свечи одной из подружек, подает невесте, и все подружки сразу же гасят свои свечи, остается только одна в руках невесты.

– Свечи воску ярого от нас, – говорит дружко, – а свет летучий от жениха, ясно сокола.

Второй дружко подносит невесте челпан. Она принимает его, надкусывает, а на блюдо дружке подает свой челпан.

Старший дружко говорит, обращаясь к невесте:

– Невеста-молодица, становись-ка ты на резвы ножки, на куньи лапки, пойдем в твой высок терем, там жених тебя ждет ясен сокол, все в окошко глядит, все тоскует, все спрашивает: «Не идет ли там девица красная, что невестой моей называлася, что женой быть моей обещалася».

Вдоль дороги, ведущей к терему, с обеих сторон толпился народ. При приближении свадебной процессии люди сыпали на дорогу зерно и падали на колени. Невеста шла, опустив голову, и исподлобья поглядывала на толпу в обе стороны, ища кого-то глазами и не находя.

Вдруг перед процессией появился заметно пьяный Гринька. Пятясь назад и приплясывая, он стал орать не своим голосом:

– Слава Владычице! Слава Владычице! Слава Владычице!

В толпе произошло замешательство. Кто-то, видимо решив, что так нужно, поддержал Гриньку и тоже крикнул:

– Слава Владычице!

Манька растерянно остановилась, но тут по знаку Афанасьича из толпы выскочили два здоровых парня, в один миг схватили Гриньку за руки, за ноги и потащили в сторону. А Гринька вырывался из рук и кричал:

– Слава Владычице!

Нянька Матрена, обогнав процессию, вбежала в терем и вышла из него с хлебом-солью на полотенце. Поклонилась новой своей хозяйке:

– Добро пожаловать, матушка пресвятая Владычица, будь в сем доме хозяйкой, а надо мной, старой нянькой твоей, госпожой.

Новая Владычица взяла из рук Матрены хлеб-соль и вошла за ней в терем. Народ с песнями обошел вокруг терема, посыпая его зерном, и, кланяясь напоследок, разошелся.

С сундучком в одной руке и с узелком в другой Манька переступила порог нового своего жилья. Испуганно огляделась.

Посреди большой комнаты стоял широкий дубовый стол и две лавки. В углу пол устлан чистыми половичками, сшитыми из цветных лоскутков.

Манька поставила сундучок у порога, а узелок положила на стол. Все было непривычным, чужим и странным. Манька постояла в растерянности посреди комнаты, потом, не найдя себе никакого

дела, опустилась на край скамейки, руки положила на колени и замерла, боясь пошевелиться. Только глаза ее не могли успокоиться, а все шарили по комнате, ощупывая каждый угол, каждое бревнышко в стене.

Вечерело. Забирались на насесты куры. Загонялась в хлева скотина, люди, готовясь ко сну, запирали двери и окна.

В тереме существовал совершенно другой обычай. Матрена обходила все комнаты и открывала двери настежь. Все должно было быть открыто для Духа, который обязан явиться в эту первую ночь.

Манька сидела все в той же позе, когда дверь в комнату распахнулась. Манька вздрогнула, но вошел не тот, кого она ожидала, вошла Матрена. Нянька сложила лишние подушки на лавку, постелила постель и, идя к двери, сказала:

– Спокойной ночи, матушка!

Она ушла, оставив за собой дверь открытой. Манька подошла на цыпочках и прикрыла. Нянька вернулась.

– Матушка, – сказала она, – в первую ночь дверь закрывать не положено, для мужа твоего все должно быть открыто.

Она снова ушла. Манька прислушалась и, убедившись, что нянька ушла к себе, подошла к узелку, развязала его. Вынула пирожки, стала раскладывать их на столе.

– Вот, – сказала она, обращаясь к Духу, который должен был ее слышать, – это с мясом, а это с капустой. Маманька пекла. Она у меня хорошо печет. И я тоже умею. А это, – она достала кувшин и кружку, – брага хмельная. Папанька ее любит. Он за нее родную дочь продаст кому хошь. Если немножко, то можно с устатку. У тебя же, чай, дел ой сколько! На земле столько народу да столько твари всякой, за всем проследи и каждого направь, куда надо. И это ж, если б только одна наша деревня была, а то ведь старые-то люди говорят – еще есть и поболе нашей. Хотя, может, и врут. Как это может быть боле, когда у нас, почитай, сорок дворов!

Села она за стол, подперла голову руками, ждет. Задремала. Проснулась. Нет никого. Она подняла глаза к потолку.

– Ну, чего же ты не идешь? Я же тебе все приготовила: и угощенье и постелю. А если я тебе не по нраву, так ты скажи. А не можешь сказать, какой ни то знак подай: или через трубу погуди, или дверью грюкни. Я пойму. Я смышленая.

Утром нянька Матрена подоила корову, налила в кружку молока, отрезала кусок хлеба и пошла к Владычице. Отворила дверь и застыла на пороге.

На столе по-прежнему лежали пирожки, стоял кувшин с брагой, а Манька складывала вещи в свой сундучок.

– Куда это ты, матушка, собираешься? – подозрительно спросила Матрена.

– За кудыкины горы, – сердито ответила Манька.

Матрена поставила кружку и хлеб на стол, села на лавку.

– Уж не домой ли?

– Домой, – сказала Манька. Потом посмотрела на Матрену и объяснила: – Не пришел Дух-то. Ты говорила – придет, а он не пришел. Видать, я ему не по нраву пришлась, брезгует. Может, ему Анчутка косая больше приглядела, так пущай он до ней и идет.

– Тише ты! – испугалась, замахала руками Матрена. – Ты что это такое говоришь? Он услышит, осердится.

– А пущай сердится, – сказала Манька, – я сама в жены ему не набивалась. Я и не хотела, я с Гринькой хотела жить.

Она села на сундучок и, закрыв лицо руками, заплакала.

Нянька села с ней рядом, погладила ее по голове.

– Э-эх, – вздохнула она укоризненно. – Ты же наша Владычица, призвана управлять всем человеческим родом, а не понимаешь… Да как же Святому Духу, Владыке небесному, к тебе не прийтить? К кому ему и податься, как не к тебе. Приходил он ночью, обязательно приходил.

– Что-то я его не видела, – сказала Манька. – Всю ночь прождала, только под утро чуть-чуть задремала.

– Ну вот видишь, – обрадовалась Матрена. – Значит, под утро он и приходил. Он ведь просто так никогда не придет, а допрежь усыпит, ибо лик его никто видеть не должен.

– Нет, нянька, ты мне голову не дури. Кабы он приходил, так хоть след какой-никакой бы остался. А ведь нет ничего.

– Вот чудо-юдо, скажешь тоже! Какой он может след оставлять? Думаешь, он такой человек, как и все, с руками-ногами, а это Дух. Он потому Духом и зовется, что плоти не имеет и никому невидим.

– А если он такой бесплотный, невидимый и неслышимый, для чего мне с ним жить? И как жить?

– А живи как живется. Ешь, пей, гуляй, занимайся рукодельем. Да у тебя делов-то оей-ей сколько! Сейчас вон рыбаки в море собрались, тебя ждут, совета просят: идтить им али не стоит?

– А откуда мне знать?

– Кому ж знать, как не тебе. Когда тебя спрашивают, говори, как сама думаешь, и это будет правильно, потому что мысли твои есть внушенные Духом. Ну а если в чем сомневаешься, обращай внимание на приметы. Вот, к примеру, вчера солнце с красной зарею зашло, а сегодня встало со светлой. Значит, Дух знак подает, что погода к ведру идет, а раз к ведру, значит, можно так понять, что рыбакам в море идтить самое время. Сама смотри, все соображай, и как ты решишь, так и правильно будет. Ну, ладно, ты покушай да иди, люди ждут.

Толпа провожающих стояла на берегу. Лодки, готовые к отплытию, покачивались на мелкой волне. Вдоль лодок ходил Афанасьич, проверял снаряжение.

Лохматый парень возился на дне одной из лодок, конопатил дыру.

– Течет, что ли? – спросил старик.

– Маленько течет, – смущенно улыбнулся парень.

– Загодя надо конопатить, – проворчал на ходу старик. – Да и просмолить не мешало б.

Возле одной лодки были Гринька с отцом. Отец грузил сети, Гринька сидел на носу лодки и крутил веревку, один конец которой был утоплен в воде.

– Ну как, Мокеич, готово? – осведомился, подходя, Афанасьич.

– Да вот сети погрузим, будет готово, – степенно ответил Мокеич.

– С похмелья голова не болит? – вполголоса спросил Афанасьич, кивая в сторону Гриньки.

– Да какая у него голова! – махнул рукой Мокеич. – Ты уж не серчай, Афанасьич, он это по дурости вчерась вылез.

– Да об чем говорить, – великодушно простил Афанасьич. – По пьяному делу с кем греха не бывает! Верно я говорю, Григорий? – крикнул он Гриньке.

Гринька, продолжая свое занятие, ничего не ответил, словно не слышал.

– Ты что это делаешь? – приблизился к нему Афанасьич.

– Чертей гоняю, – доверительно сообщил Гринька.

– Зачем? – удивился Афанасьич.

– Да все подбивают сходить к одной бабе. Сходи, говорят, да сходи.

– К какой бабе? – насторожился Афанасьич.

– К Анчутке, – сказал Гринька, продолжая крутить веревку.

– А, – старик вежливо захихикал.

Гринька перестал крутить веревку и уставился на старика.

– А ты думал – к какой бабе? А?

Афанасьич смутился.

– Ты, чем языком молоть, – хмуро сказал он, – помог бы отцу сеть грузить.

– А он у меня здоровый, – сказал Гринька. – Он прошлый год быка подымал. Правда, не поднял.

Отец, погрузив сеть, подошел к Гриньке и что было сил врезал ему по затылку.

– Во, видал? – сказал Гринька. – А ты говоришь – сеть!

– Ты у меня поболтай еще. Я из тебя дурь эту вышибу.

– И зря, – сказал Гринька, – вышибешь, а что останется? У меня же в башке, окромя дури, нет ничего.

В это время толпа заволновалась, по ней прошел шелест:

– Идет! Идет!

По крутой тропинке к берегу в сопровождении Матрены спускалась Владычица.

Толпа замерла. Мужики сняли шапки. Владычица подошла к толпе и остановилась. Афанасьич выступил вперед и склонил перед Владычицей голову. Она смотрела и не знала, что делать. Вопросительно скосилась на Матрену. Матрена шепотом сказала:

– Ручку.

Владычица сообразила, шевельнула левой рукой, потом испугалась, что она грязная, потерла тыльной стороной ладони о платье и подала Афанасьичу. Тот приник ней губами, а Владычица другую руку положила ему на темя.

– Идите, мужички, в море спокойно. Будет вам путь, – стараясь держаться важно, сказала Владычица.

– Благодарствуем, матушка! – ответил Афанасьич и отошел.

Толпа задвигалась, мужики, уходящие в море, перестроились в цепочку, все подходили к Владычице, рядом с которой, кроме Матрены, оказался еще и горбун, все целовали ей руку, и каждого она благословляла прикосновением к темени.

В очереди впереди Мокеича двигался Гринька. Он делал вид, что не хочет идти вперед, и Мокеичу каждый раз приходилось его незаметно подталкивать. Подошла Гринькина очередь. Горбун, бдительно следивший за Гринькой, шепнул:

– Будешь орать – прибью.

Гринька только усмехнулся и промолчал. Приблизился к Владычице и посмотрел ей в глаза. Она не выдержала и перевела взгляд на свою руку. Гринька взял ее руку в свою левую, а правую положил сверху и приложился к ней губами. Этого никто не заметил, кроме Владычицы, которая после секундного замешательства резко выдернула руку и протянула приближавшемуся Мокеичу.

Отец Владычицы смущенно топтался возле жены, никак не решаясь подойти к дочери, но, когда очередь прошла, Авдотья подтолкнула его. Он подошел и, как все, приложился к ее руке. Владычица, благословлявшая других молча, тихо сказала:

– Счастливый путь, тятя.

– Благодарствую, до… матушка, – вовремя исправил свою ошибку отец.

Авдотья смотрела на дочь взглядом, исполненным счастья и гордости.

После благословения мужики отходили к лодкам, садились на весла. Когда все уселись, Афанасьич со своей лодки дал знак, и все одновременно отошли от берега.

…На берегу остались старики, женщины, дети. Они застыли как изваяния и молча смотрели в море, пока лодки не скрылись за горизонтом. Матрена тронула Владычицу за рукав, и они вместе направились к терему.

Баба с ребенком, стоявшая с краю, заметив, что Владычица удаляется, кинулась вслед за ней.

– Матушка, – быстро заговорила она, поравнявшись с Владычицей и пытаясь всучить ей кусок сала, завернутый в тряпку, – дите у меня хворает, животом мается, день и ночь криком кричит, пособи чем-нибудь.

Владычица остановилась, растерянно посмотрела на бабу, перевела взгляд на Матрену. Матрена вышла вперед, встала перед Владычицей и пошла на бабу, оттесняя ее от Владычицы.

– Ладно ужо, придешь опосля.

Тут налетели и другие бабы. Одни забегали вперед, другие лезли с боков.

– Матушка, коза в яму упала, ногу сломала! – кричала одна.

– Матушка, мне вчерась покойник наснился, – перебивала другая.

– Матушка… – вылезла третья.

– Да что вы, окаянные, сразу налезли, – замахала на них руками Матрена. – Кыш отсюда, дайте матушке хоть в себя-то прийтить. Кыш! Кыш!

Наткнувшись на мать Владычицы, она смутилась, но достаточно строго спросила:

– Тебе чего, Авдотья?

Авдотья растерялась. Ей еще не приходилось говорить с дочерью через посредников.

– Там полушалок теплый остался, – оробев, сказала она. – Может, занесть?

– Занесите, маманя, – сказала Владычица почтительно.

– Слушаю, матушка, – благоговейно склонилась Авдотья.

Смущенная таким обращением матери, Владычица повернулась и быстро пошла к терему. За ней, едва поспевая, семенила Матрена.

– Красавица наша, – умильно глядя Владычице вслед, проговорила стоявшая рядом с Авдотьей баба.

– Вся в мать, вся в мать, – громко подхватила другая, заглядывая Авдотье в глаза.

Но Авдотья строго посмотрела на ту и другую и, не приняв лести, пошла к деревне.

Она подходила к своей избе, когда ее догнала баба с ребенком.

– Лукинишна, – сказала она, сунув ей кусок сала, завернутый в тряпку, – замолви словечко перед Владычицей, дите мается, криком кричит…

– Ладно-ладно, скажу, – неохотно ответила Авдотья, но сало взяла.

Войдя в избу, она положила сало на стол и открыла сундук. Долго перебирала вещи, пока не нашла обещанный дочери полушалок. Растянула его на руках, села на лавку и, приложив полушалок к лицу, расплакалась.

Прошел месяц, а может, и больше.

Анчутка медленно плыла на лодке, нагруженной караваями хлеба и бочонком с пресной водой. На море стоял полный штиль, настроение у Анчутки было хорошее, и она дурным голосом, усугублявшим полное отсутствие слуха, пела:

А и теща, ты теща моя,
А ты чертова перечница!
Ты погости у мине!
А и ей выехать не на чем.
Пешком она к зятю пришла,
А в полог отдыхать легла…

Лодка неожиданно на что-то наткнулась. Раздался треск. Анчутка, оборвав песню на полуслове, обернулась, увидела, что ее лодка столкнулась с лодкой Гриньки, который проверял расставленные сети. Невдалеке виден был остров, на котором ждали ее рыбаки.

– Чего орешь? – грубо сказал Гринька. – Рыбу всю распугаешь.

– Гринька! – обрадовалась Анчутка. И засмущалась. – А я вот хлеб вам везу.

– А еще чего? – спросил Гринька.

– А еще воду колодезную. Холоднющая, аж зубы ломит.

– Дай испить.

Она налила ковш воды, подала Гриньке. Гринька припал к ковшу.

– А загорел! – с восхищением сказала Анчутка. – Весь нос облупился.

Она протянула руку, чтобы содрать с его носа кожу. Гринька, не отрываясь от ковша, ткнул ее пальцем в живот. Анчутка кокетливо захохотала.

Рыбаки, которые ждали Анчутку на острове, высыпали на берег. Мокеич нетерпеливо крикнул:

– Гринька, охламон, не задерживай девку!

Афанасьич, стоявший рядом, его охладил:

– Да что ты на его кричишь? Пущай побалуются, их дело молодое.

Гринька отпихнул Анчуткину лодку веслом, она погребла к берегу. Немного не доплыв, спрыгнула в воду босая и с силой вытащила лодку на песок.

– Здорово, мужички! – весело сказала она.

– Здорово, – ответил Афанасьич. – Чего там в деревне нового?

– А чего там нового? Бабы скучают, силу набирают, – бойко сказала Анчутка и повернулась к тщедушному рыжему мужичонке: – У тебя, Степан, баба сына принесла вот такого роста, а ревет басовито, что бык племенной.

Степан обрадовался, но виду не подал, мужское достоинство не позволило. Он только наклонил голову и скромно ответил:

– В меня, знать, пошел.

Рыбаки засмеялись. Афанасьич отвел Анчутку в сторону и тихо спросил:

– А Владычица чего говорила?

– Наказывала через три дня вам домой повертаться.

Афанасьич поднял голову, посмотрел на спокойное, чистое небо и ответил:

– Ну-ну.

Чем-то не нравилось ему это небо.

Утром того дня, когда должны были вернуться рыбаки, проснулась она на рассвете. Выглянула в окно. Огненный шар солнца медленно поднимался над горизонтом. Начинался ветер. Он скрипел входной дверью, раскачивая кроны деревьев, и низко гнал дым над избами.

Владычица встала и в одной рубашке прошла в комнату Матрены. Комната была пуста, постель убрана. Матрена в хлеву доила корову.

– Ты что это рано так поднялась? – удивилась Матрена, увидев свою хозяйку в дверях.

– Да так, что-то не спится, – сказала Владычица, не решаясь доверить Матрене свои сомнения. Но не удержалась: – Ветер на дворе.

– Авось пройдет, – успокоила Матрена.

– Пройти-то пройдет, но все же… – Владычица повернулась и пошла назад в свою комнату.

Матрена прислушалась к свисту ветра, нахмурилась. Ей погода тоже не нравилась. Корова, которой надоело доиться, ударила ногой по подойнику, но старуха вовремя его подхватила.

– Ну-ну, не балуй, – строго сказала она корове и ткнула ее кулаком в бок.

Потом внесла подойник к себе в комнату, налила кружку молока и донесла Владычице, но уже не застала ее.

Владычица стояла на берегу, ветер рвал с нее платок, задирал юбку. Она напряженно смотрела вдаль, но там ничего не было видно, кроме белых барашков, вскипавших на гребнях волн.

– Ветер, матушка, – сказал кто-то сзади.

Она вздрогнула и обернулась. Позади нее и по бокам стояли бабы, все бабы, сколько их было в деревне. Многие с грудными детьми и с детьми постарше, державшимися за материнские юбки. Десятки пар глаз смотрели на нее с отчаянием и надеждой.

– Разве ж это ветер? – беспечно сказала она. – Ветерок. Идите, бабы, по домам, нечего тут собираться, все будет как надо.

Но никто не сдвинулся с места. Тогда она повернулась и пошла в терем мимо поджидавшей ее на крыльце Матрены, молча поднялась к себе. Села на край лавки, как тогда, когда первый раз вошла в эту комнату, сложила на груди руки. Потом подняла глаза к потолку и сказала, обращаясь к Духу совсем по-домашнему:

– Батюшка, свет родимый, не выдай. Ну на что это ты так рассердился? Ведь люди плывут по морю. А лодчонки у них сам знаешь какие, долго ли перевернуть? А ведь скажут-то все на меня. Обещала, мол, что будет путь, а где он? Уж ты, батюшка, если и осерчал, как ни то по-иному меня накажи, а море, сам посуди, стоит ли зазря баламутить.

– У-ууу, – прогудел в ответ ветер в трубе.

– Вот тебе и «у-у», – передразнила Владычица. – Спробуй только, опрокинь хоть одну лодку, я тебе тогда поуукаю.

Она опять вышла из терема, но теперь, чтобы не попадаться на глаза Матрене, в другую дверь – через хлев. И по другой тропинке, вдалеке от собравшихся на берегу баб, спустилась к самой воде. Притаилась за выступом обрывистого берега и ждала. Волны шумели, налетали на берег и некоторые касались ее босых ног.

Где-то на гребне далекой волны мелькнула первая точка. За ней вторая. Лодки приближались к берегу, и люди, сидевшие в них, отчаянно боролись с волнами.

Первая лодка ткнулась наконец в песок.

Женщины и дети с радостными криками скатились вниз. Подходили другие лодки. Одной из них правил Гринька. В ней рядом с Мокеичем сидела Анчутка.

Привязав наспех лодки, рыбаки направились к терему Владычицы. Возглявлял шествие Афанасьич. На растопыренных руках он тащил огромную рыбину.

Владычица не сразу сообразила, что рыбина предназначалась ей. А когда сообразила, повернулась и низом кинулась к терему. Едва успела добежать, натянуть на ноги сапоги. Смахнула со лба пот рукавом, поправила волосы и, переводя дух, вышла на крыльцо как ни в чем не бывало, строгая и величественная.

– Здравствуйте, мужички, – весело поздоровалась она с подходившими рыбаками. – Каково вам плавалось, каково ловилось?

– Благодарствуем, матушка, – приблизился Афанасьич, изнемогая под тяжестью рыбы. – Хорошо нам плавалось, хорошо ловилось. Прими от нас гостинчик с благодарностью за удачу.

– Возьми, нянюшка, – сказала она вышедшей из толпы Матрене. – А вы, мужички, идите и отдыхайте.

Владычица быстро шла по деревне. Рядом с ней бежал горбун Тимоха.

– Матушка, – спрашивал, – а как думаешь, она горбатенького не может принести?

– Сплюнь трижды через левое плечо и таких глупостей больше не болтай, – строго сказала Владычица.

– Ой, и правда, что ж это я такое болтаю! – Горбун трижды сплюнул, как велела Владычица, забежал вперед, проявляя необычную для него суетливость. Распахнул перед Владычицей дверь в избу.

В избе за рваной занавеской стонала роженица. Тут же суетилась и Матрена. Она зачерпнула из квашни ложкой тесто и наговаривала на него:

– Отпирайте, отпирайте. Отперли, отперли. Поезжайте, поезжайте. – Сунула роженице в рот ложку с тестом. – Поехали. Поехали. Едут, – посмотрела, нахмурилась. – Нет, не едут. А вот и матушка Владычица пришли. Сейчас тебе будет святое благословение, и тогда уже родишь.

Со смешанным чувством боязни и любопытства Владычица заглянула за занавеску и спросила участливо:

– Больно, милая?

– Уж так больно, матушка, моченьки моей нет больше, – со стоном пожаловалась роженица.

– Ну ладно уж, рожай, – разрешила Владычица и, подержав ладонь у ее вспотевшего лба, поспешно направилась к выходу, провожаемая бормотанием Матрены:

– Отпирайте, отпирайте. Отперли, отперли…

Возле Гринькиного дома сидели на завалинке Мокей с Афанасьичем и о чем-то разговаривали. Когда Владычица проходила мимо, оба встали, сняли шапки и поклонились. Владычица им в ответ кивнула и улыбнулась. В это время со двора, ведя на ремешке петуха, выбежал Гринька, догнал Владычицу, снял шапку и поклонился учтиво.

– Матушка Владычица, у меня к тебе просьбица небольшая будет, – сказал Гринька, на ходу пристраиваясь к Владычице.

– Чего еще удумал? – сердито спросила Владычица, косясь на петуха, который рвался, натягивая ремешок и хлопая крыльями.

– Сотвори, будь добра, чудо: научи петуха по-собачьему лаять, а то и бегать на ремешке его научил, а вот лаять никак не хочет.

– Сгинь, – сказала Владычица и ускорила шаг.

Гринька снова догнал ее:

– Матушка Владычица, сон мне наснился. Чудной такой сон, а к чему он, не знаю.

– Ну, говори свой сон, да быстро, – тихо приказала она.

– Быстро-быстро, – согласился Гринька. – Значит, так. Наснилось мне, будто мы с тобой лежим вместе на сене, и будто я к тебе шасть под юбку. А тут спущается с неба Святой Дух и говорит: «Ты чего это к моей женке под юбку лазишь?» А я ему говорю: так я ж это, мол, просто так, по-суседски.

Она остановилась и посмотрела ему в глаза и неожиданно для самой себя сказала:

– Гринюшка, родненький, и так тошно, что ж ты меня терзаешь?

– Значит, ты меня еще не забыла, – сказал он, торжествуя. – И не забудешь, как я тебя забыть не могу.

Она отшатнулась от него в испуге, повернулась и быстро пошла прочь, почти побежала.

Гринька вернулся к избе. Отец с Афанасьичем по-прежнему сидели на завалинке и пытливо смотрели на него.

– Об чем это ты, милок, с матушкой калякал? – ласково спросил Афанасьич.

– Да так просто, – беспечно ответил Гринька. – Пытал у ней, как лучше рыбу чистить: с головы али с хвоста?

– Ой, милок, ты у мине и докалякаешься, – все так же ласково, но с явной угрозой сказал Афанасьич.

В это время петух взмахнул крыльями и налетел на Афанасьича. Старик пригнулся, закрывая руками голову.

– Не бойсь, не укусит, – сказал Гринька, оттаскивая петуха. – Он тухлятиной брезгует.

Во дворе Гринька развязал ремешок, и петух, почувствовав свободу, радостно закричал и погнался за курицей, разгребавшей навоз. Гринька поднялся в избу.

– Ты, Афанасьич, на его не обижайся, – виновато сказал Мокеич, – он же у мине глупой. Без матери рос.

– Глупой-глупой, – рассердился Афанасьич, – а знает, за кем ухлестывать. Это ж надо нахальство такое иметь, на кого глаза-то таращит. Смотри, Мокеич, побереги сына. Ведь если что – зашибем.

– А что же мне с им делать? – робко спросил Мокеич.

– Жанить, – сказал Афанасьич решительно. – Жанить, да и все. Хоча бы на той же Анчутке, и как можно скорей.

– Да он на ней жаниться-то не захочет, – попытался возразить Мокеич.

Афанасьич посмотрел на него и твердо сказал:

– Захочет.

Во дворе Владычицы собралась вся деревня. Сама хозяйка сидела на высоком крыльце в нарядном полушубке, в расписных сапожках, принимала народ.

Первой вышла баба с перевязанной щекой. Положила перед Владычицей лепешку черную да кусок семги. Держась за щеку, застонала.

– Что у тебя? – спрашивает Владычица.

– Ой! – стонет баба.

– Зуб, что ли? Который?

– О-о! – баба засунула палец в рот.

– Змею живую добудь и вынь из нее желчь из живой, и чтоб она живая с того места сползла, а желчью мажь зуб, где болит, а если змея с того места без желчи не сползет, в той желчи пособия нет.

– У-уу, – благодарно простонала баба, пятясь задом в толпу.

Вышел из толпы мужичок, упал перед Владычицей на колени, приложился губами к ее ноге.

– Что у тебя, Степан? – спросила она ласково.

– Корова пропала, матушка. Третьего дня выгнал ее пастись к лесу, ввечеру пришел, а уж ее нет.

– Выйди поутру до света, стань на росу босой, плюнь трижды против солнца, говоря: «Пропади тень от света, роса от тепла, найдись, моя корова, приди к хозяину, дай молочка, напои меня, мою жену, моих детушек». Если волки не задрали, найдется. Понял, нет?

– Понял, матушка, благодарствую, понял.

– А ну-ка повтори, что делать должон.

– Ну, значит, это, выйти ночью, стать на росу босому, трижды плюнуть и сказать…

– Куда плюнуть-то?

– А я, матушка, и забыл.

– Вот, забыл! А это есть самое главное. Трижды плюнь против солнца. А что говорить надо?

– Ну, значит, «пропади тень от тепла»…

– Тьфу ты, несмышленый какой! Ну как же может тень от тепла-то пропасть? Ты видал такое?

– Не, – сказал мужик, – не видал.

– И значит, как надо говорить?

– А кто знает! – мужик растерянно почесал в затылке.

– Ладно, опосля придешь, назубок учить будешь.

Мужик, смущенный, отошел кланяясь.

Тут вышли из толпы отец Гриньки и отец Анчутки, вывели за руки своих детей. Гринька и Анчутка упали перед Владычицей на колени. Отец Гриньки бросил на крыльцо мешок. В мешке был поросенок. Он завизжал, забарахтался и покатился по крыльцу. В толпе все засмеялись. Матрена, выбежав на крыльцо, схватила поросенка и утащила в терем.

Отец Гриньки поклонился Владычице и сказал:

– Матушка наша, пресвятая Владычица, надумали мы оженить наших детушек, просим твоего святого благословения. Пусть промежду ними будут мир да совет.

Владычица сжала губы, и взгляд ее встретился с непроницаемым Гринькиным взглядом. Однако она сдержала себя и с подобающей случаю величественностью свела руки крестом, левую ладонь приложила ко лбу Гриньки, стоявшего справа, правую – ко лбу Анчутки.

Молодые отошли кланяясь.

Вышла баба с ребенком.

– Что у тебя? – строго спросила Владычица.

– Да я вот все с дитем, матушка. Уж ты не серчай, а только животик у него все не проходит.

– Медвежью печень высуши, истолки в ступе, смешай с молоком, мажь живот на ночь – пройдет.

Она поднялась, давая понять, что прием окончен. Старухе, которая сунулась к ней с какой-то жалобой, сказала:

– Ладно, хватит, в другой раз.

Придя к себе в комнату, она упала на кровать и зарыдала. Потом встала на колени и, воздев руки к потолку, закричала:

– Дух Святой, прости меня, накажи меня, побей меня громом небесным, укажи мне, как жить, что делать? Слаба я, грешна, не то что править другими, с собой совладать не могу. Что ж ты молчишь? Что не отзываешься? Уж я, кажись, не докучала тебе своими просьбами. Помоги же мне, ежели ты есть!

Уткнувшись лицом в подушку, она снова забилась в рыданиях.

Вечером в Гринькиной избе лохматый парень играл на жалейке. Другой парень и толстая девка плясали, от усталости не проявляя к этому занятию никакого интереса. Большинство гостей уже спали, кто за столом, кто на лавке. Огромного роста мужик храпел на полу посреди избы. Баба возле печки кормила ребенка грудью. Мокеич наседал на сидевшего рядом Афанасьича.

– Нет, Афанасьич, – кричал он, – вот ты человек умный, так ты мне разъясни, кто главнее: зверь или рыба?

– Да ну тебя! – отмахивался от него напившийся вдрызг Афанасьич.

Парень, которому надоело плясать, сел за стол и неожиданно закричал:

– Горько!

Гости, те, кто проснулся, испуганно схватились за кружки с брагой и повернули головы в тот конец стола, где должны были сидеть молодые. Но там была только Анчутка.

– А где этот… ну, как его… Гринька? – заплетающимся языком спросил Афанасьич.

– На двор пошел, – ответила, поднимаясь, невеста.

– Горько! – заорал опять парень.

– Не ори, – попросил его Афанасьич.

…Владычица лежала у себя в комнате, ворочалась. Ей не спалось. В тереме было тихо, только где-то за печкой изредка трещал сверчок. Вдруг заскрипели половицы. Владычица прислушалась. Кто-то ходил по терему.

– Матрена! – закричала она.

Вбежала встревоженная Матрена:

– Что, матушка?

– Слышишь? – сказала Владычица. Матрена прислушалась.

– Что? – шепотом спросила она.

– Кто-то ходит по терему.

Матрена опять прислушалась. Ничего не было слышно.

– Что ты, матушка, Дух с тобой! – сказала нянька. – Кто же здесь может ходить?

– Нянюшка, я точно слышала, кто-то ходил.

– Так это ж я ходила. Дрова в печку подкладала. Спи, матушка, закрой глазки и спи спокойно, никто к нам прийтить не может.

Матрена поправила на ней одеяло и вышла.

Владычица закрыла глаза. Но вот опять послышался скрип половиц, теперь шаги слышались явственно. Кто-то тяжелой походкой приближался к ее покоям. Она села на кровати с колотящимся сердцем и уставилась на дверь. Дверь отворилась. На пороге показалась длинная фигура в белом. Владычица вжалась в стенку.

– Ты кто? – свистящим шепотом спросила она.

– Я твой муж – Дух Святой, – каким-то странным, нездешним голосом ответил пришелец, медленно продвигаясь вперед. Владычица ущипнула себя. Но это был не сон. Человек в белом приближался к ее кровати. Обходя стол, он зацепился за лавку и с грохотом опрокинул ее.

Белое покрывало слетело. Он схватился за колено и, подпрыгивая, застонал Гринькиным голосом:

– Ай-яяяй, коленку зашиб.

– А-а-а-а-а! – завопила Владычица.

Матрена, выбежавшая на крик, застыла в дверях. Возле неподвижно лежавшей Владычицы суетился Гринька.

– Манька, ты что? – тормошил он ее. – Я ж пошутил. Слышь, что ли, я пошутил просто, и все. – Он обернулся, увидел Матрену и сказал ей: – Матрена, воды.

– Сейчас, – торопливо сказала Матрена. – Сейчас, милок, принесу.

Она по коридору прокралась в сени, из сеней на крыльцо и, спотыкаясь, побежала к деревне.

Гринька, увидев ее в окно, проворчал:

– Вот дура, вместо того чтоб воды подать, она доносить побегла. Где ж тут вода? – он заметался по комнате.

Матрена во весь опор неслась по деревне. За ней увязалась собака. Она тявкала, хватала Матрену за ноги, но та продолжала бежать, не обращая на собаку никакого внимания. С ходу ворвалась она в Гринькину избу.

Гости уже окончательно перепились и валялись кто где. Во главе стола, размазывая по лицу слезы, сидела невеста. Мокеич и Афанасьич сидели в обнимку на другом краю стола.

Увидев Матрену, Мокеич схватил со стола свою кружку и пошел гостье навстречу.

– Афанасьич, друг, – закричал он, – гляди-ко, кто к нам пришел. Матрена, иди сюда, выпей с нами, я тебя люблю.

– Отойди, – отодвинула его Матрена.

– Нет уж, не отойду, – упирался Мокеич. – Уж ты уважь!

Но она дорвалась все же до Афанасьича, нагнула его к себе и приткнулась к его уху губами.

Услышанное настолько потрясло Афанасьича, что он сразу протрезвел. Он прошел по избе и стал будить мужиков, кого тормоша за шиворот, а кого поднимая ногами.

– Эй, мужики, вставайте, беда!

Сквозь разрыв в тучах в окно заглянула луна. Она осветила лицо Владычицы и Гриньку, сидевшего рядом на постели. Гринька наливал в ладони из кувшина воду и плескал ее на Владычицу. Она открыла глаза.

– Ну вот, наконец-то, – проворчал Гринька. – Что за народ пошел, нельзя уж и пошутковать с ними.

– Гринька, это ты? – спросила она.

– Ну а кто ж? – сказал Гринька. – Правда, что ли, Дух Святой?

– Зачем ты это сделал? – спросила она.

– По дурости, – сказал Гринька.

– Беги отсюда, – сказала она, приходя в себя. – Беги, пока есть время, тебя же убьют.

– Какое там время, – сказал Гринька. – Погляди.

Она поднялась и посмотрела в окно. За окном при свете факелов угрожающе гудела толпа. Терем был окружен.

– Что же делать? – заметалась Владычица.

– Ничего, – сказал он. – Сейчас я с ними поговорю.

Он поднял с пола белое покрывало и завернулся в него.

– Ну как, хорош я? – спросил он, расправляя плечи.

Владычица испуганно смотрела ему в глаза. Он неожиданно схватил ее, хотел поцеловать, но она его оттолкнула. Гринька повернулся и направился к выходу. Толпа волновалась перед крыльцом, но никто не решался идти дальше. Факелы, колеблясь, дымили.

На крыльце показалась фигура в белом. Она застыла на мгновение и, медленно спустившись по ступеням крыльца, направилась прямо к толпе. Страх охватил людей. Кто-то упал первым, за ним другой, третий, и вот уже все люди лежали ничком, и факелы их шипели, уткнувшись в сырую траву.

Гринька шел, переступая через распластанные тела. Зацепил краем простыни горящий факел. Простыня вспыхнула. Гринька сбросил ее с себя и кинулся бежать.

– Гринька! – придя в себя, закричал Афанасьич. – Держи его!

– Дураки! – закричал Гринька, перескакивая через лежащие перед ним тела. – Пужливые дураки! Вот я вас ужо не так напужаю!

Горбун, мимо которого пробегал Гринька, изловчился и схватил его за ногу. Гринька упал, на него налетели другие, навалились, его били, топтали ногами.

Тут из терема выскочила Владычица. С ходу она влетела в толпу и стала расталкивать их локтями, крича:

– Отойдите! Отойдите!

Толпа постепенно приходила в себя. Люди, опомнившись, расступались перед Владычицей.

Гринька сидел на земле, держась обеими руками за правый бок, и стонал.

– Ну что ж ты, матушка, им мешаешь? – сказал он через силу. – У них же другой радости нет, как навалиться всем миром на одного.

Подошел Афанасьич.

– Матушка, дозволь, мы его порешим, – буднично попросил он.

– Не дозволяю.

Толпа была недовольна.

– Тогда пущай уходит от нас, – твердо сказал Афанасьич.

Владычица заколебалась, но, поняв, что другого выхода нет, тихо сказала:

– Пущай уходит.

– Твоя воля для нас закон, – почтительно ответил от имени всех Афанасьич, склоняясь перед ней в глубоком поклоне.

И все вслед за ним наклонили головы в знак согласия.

Утром Владычица видела в окно, как Гриньку всей деревней провожают в море. Справа от него шел Афанасьич, слева – отец. Позади всех на некотором расстоянии, всхлипывая, плелась Анчутка.

Гринька, избитый, с синяком под глазом, с распухшим носом, прихрамывая, тащил в одной руке узелок с одеждой, в другой вел петуха на ремешке. Еду и воду тащил отец.

Подошли к приготовленной заранее лодке, остановились, Гринька, не торопясь, уложил в лодку оба узла и кувшин с водой, посадил и привязал петуха, осмотрел весла, вернулся к толпе.

– Поди-ка сюда, – поманил он Анчутку и, когда она покорно приблизилась, обнял ее. – Ты, Анчутка, на меня не серчай, я ведь тебе зла не хотел, а уж как все получилось, и сам понять не могу. Хочешь так, а получается этак. Да, может, этак-то все и лучше. Коли тут, – он ткнул себя пальцем в левую сторону груди, – с самого начала нет ничего, так опосля и жисть-то не жисть, а одна маета. А для виду, Анчутка, жить я не могу.

Афанасьич из-под насупленных бровей смотрел на Гриньку.

Анчутка, уткнувшись головой в Гринькину грудь, задергалась от рыданий.

– Ну, будя-будя, – сказал он, отстраняя ее. – Радоваться должна, что так легко сбавилась от меня.

Он подошел к отцу.

– Ну а тебе, тятька, не знаю, что и сказать. Не поминай лихом, что ли.

Отец смотрел на него снизу вверх, пытался сохранить достоинство, но это плохо у него получалось, и он дергал носом, готовый вот-вот разреветься.

Гринька резко прижал его к себе и так же резко отпустил. Пошел было к лодке, но возле Афанасьича, не удержавшись, остановился.

– Ты, Афанасьич, для такого случая хоть бы бороду расчесал, все же народ от супостата избавил. А это разве борода? – он схватил его за бороду и подергал.

Афанасьич разжал его руку, а горбун Тимоха вышел из толпы и угрожающе двинулся к Гриньке.

– Ну-ну-ну, ты полегче, – сказал Гринька, отступая и грозя горбуну пальцем.

Оттолкнул лодку и прыгнул в нее.

– Эй, Тимоха, слышь, что ли! – берясь за весла, крикнул он горбуну, который стоял возле самой воды и сосредоточенно ковырял пальцем в носу.

– Чего тебе? – недовольно, подозревая подвох, спросил Тимоха.

– Не ковыряй в носе, мать помрет.

Горбун испуганно дернул рукой.

– Ковыряй, ковыряй, я пошутил, – разрешил Гринька, налегая на весла.

Петух вскочил на корму лодки и, захлопав крыльями, отчаянно закукарекал.

Владычица смотрела в окно, как удаляется Гринькина лодка. Сзади подошла нянька и, погладив хозяйку по голове, облегченно сказала:

– Ничего, матушка. Дух с ним совсем. Авось не пропадет.

А потом пришла в деревню беда. Заболела скотина. В одном дворе корова лежала на боку и смотрела грустными глазами на свою хозяйку, которая причитала, обливаясь слезами:

– Что же ты, кормилица моя, глядишь на меня своими глазоньками! Да и кто же тебе сделал порчу такую?

В другом дворе старик сидел и молча смотрел на дергающуюся в конвульсиях корову.

Еще одна корова лежала дохлая посреди деревни. Жалобное мычание не умолкая висело в воздухе.

Возле дома Владычицы собралась ропщущая толпа. Владычица металась по своей комнате, боязливо поглядывая в окно и не решаясь выйти к народу.

Дверь в ее комнату отворилась. Подталкивая перед собой девчонку лет пятнадцати, вошел Афанасьич.

– Вот, матушка, – сказал он, – Ксюшка болтает, будто видела, как Анчутка на восходе солнца собирала возле дома росу.

– Сама видела, матушка, – охотно подтвердила Ксюшка. – Вышла я это утром на двор, гляжу, Анчутка над травой руками эдак разводит и какие-то слова говорит, а какие – не разберешь: видать, бесовские. А еще, матушка, на плече у ней на левом, вот на энтом месте, – пятно. С ладонь, пожалуй, а то и поболе.

Перед теремом Матрена и горбун Тимоха воевали с бушевавшей толпой.

– Отойдите, окаянные! Отойдите, кому говорят! – надрывалась Матрена.

– Куда лезешь! – в тон ей кричал горбун, тыча кому-то кулаком в нос.

– А пущай выйдет, Владычица! – петухом налетал на Матрену Степан. – А пущай она нам объяснит, за что Святой Дух посылает на нас такую кару.

Дверь терема резко распахнулась, на крыльце появились Владычица, Афанасьич и Ксюшка.

Толпа мгновенно умолкла. Ксюшка старалась держаться за спиной Владычицы. Владычица схватила ее за руку и вытащила вперед.

– Ну, говори, – приказала она.

Ксюшка нерешительно мялась.

– Говори, – повторила Владычица, – не бойся. А то бегать наушничать все горазды, а выйти и сказать правду народу – страх берет.

Ксюшка сбежала с крыльца и стала пробираться к Анчутке. Народ расступился. Оставшись один на один с Ксюшкой, Анчутка смертельно побледнела.

Ксюшка прыгнула на нее кошкой, схватила за ворот, рванула. Платье затрещало, обнажив Анчуткину спину. И все увидели большое родимое пятно у нее на плече.

– Вот он, колдовской знак! – торжествующе объявила Ксюшка.

Толпа кольцом сомкнулась вокруг Анчутки и угрожающе надвигалась. Анчутка в страхе озиралась, заглядывала в лица людей, ища в них сочувствия, но все они были одинаково беспощадны.

– Топить ее! – истошно завопил кто-то.

– Топить! – всколыхнулась толпа.

– Стойте! – вскинула руку Владычица, и толпа перед ней расступилась.

Она шагнула к Анчутке, отогнула разорванный ворот платья, который Анчутка придерживала рукой, глянула на пятно и снова закрыла.

– Пущай она от нас уйдет, – объявила Владычица народу свой приговор.

– Пущай уйдет, – повторил Афанасьич.

– Пущай уйдет! – подхватила толпа.

– Благодарствую, матушка, – осмелев, поклонилась Анчутка Владычице. – Благодарствую за милость твою, за то, что ты Гриньку сперва загубила, а теперь вот и мой черед наступил. – Она выпрямилась и гневно крикнула: – Не можешь простить нашу с Гринькой любовь! Силу свою показываешь!

Владычица хмуро посмотрела на нее и сказала:

– Иди за мной! – и повернулась к терему.

– Не пойду! Не пойду! – Анчутка в ужасе кинулась прочь, но тут же забилась в руках мужиков.

Они протащили ее к терему, втолкнули в комнату. Вошла Владычица и прикрыла за собой дверь.

Анчутка стояла посреди комнаты и смотрела на Владычицу со страхом и ненавистью.

– Сядь! – приказала Владычица. Анчутка села.

Владычица подошла, погладила ее по голове и тихо сказала:

– Бедная ты моя.

Анчутка, не ожидавшая такого начала, упала лицом на стол и зарыдала.

– Ладно-ладно, – проводя ладонью по ее волосам, успокаивала Владычица.

Зачерпнула ковш воды из деревянной бадьи, стоявшей на лавке, поднесла гостье. Та судорожно впилась в ковш, стучала о его края зубами, но никак не могла напиться – вода проливалась, текла по подбородку на грудь.

Ожидая, пока Анчутка успокоится, Владычица ходила по комнате из угла в угол, потом заговорила, медленно подбирая слова:

– Вот ты говоришь насчет Гриньки и сама знаешь, что зря. Правда, люб он мне был и на тебя зло таила, но это все раньше, а теперь здесь, – она ткнула себя пальцем в грудь, – ничего не осталось. Ни любови, ни зла. Место мое такое – не позволяет сердце на одного тратить, остальным не хватит. И кабы ты была на моем месте, а я на твоем, то ты сделала бы то, что делаю я, потому что никто из нас в жизни своей не волен, а идет по тому пути, который Он, – она подняла палец вверх, – нам назначил.

Владычица остановилась у окошка.

– Ты погляди, сколько людей – столько и радости и горя. У каждого свое. Но ведь радость при себе держат, а горе несут ко мне. И Палашка, и Степан, и Тимоха. Как будто у меня своего мало. А я все принимай, всех утешай. Это ж откуда столь силы взять, чтоб такое-то выдержать?

И такая тоска и горечь были в глазах у Владычицы, что Анчутка не выдержала – отвела взгляд.

Владычица опустилась на скамью.

– Никому не говорила, а тебе скажу – не знаю, кому из нас нынче тяжельше.

Она закрыла лицо руками. Анчутка подошла к ней, встала на колени и приложилась губами к ее ногам.

– Прости, матушка, – тихо сказала Анчутка. – Виноватая я перед тобой.

– Иди, – не отрывая рук от лица, сказала Владычица.

Анчутка направилась к выходу, взялась за ручку двери, и тут Владычица остановила ее:

– Погоди.

Подошла к Анчутке, внимательно на нее посмотрела и тихо сказала:

– А что ж ты с Гринькой-то не ушла?

Анчутка опустила голову и еле слышно сказала:

– Не взял он меня.

Владычица отвернулась и, не глядя на Анчутку, вздохнула:

– Нет, Анчутка, ты не любила его.

Анчутка бросила на Владычицу отчаянный взгляд и вдруг сорвалась с места и бросилась к выходу.

Владычица подошла к кровати и легла, уткнувшись лицом в подушку.

Потом во дворе раздался шум. Люди что-то кричали на разные голоса, а слов было не разобрать. Владычица подняла голову и прислушалась. Вошла Матрена.

– Что там за шум? – поинтересовалась Владычица.

– Да ведь это… Анчутка от тебя выбегла, ровно шальная, да напрямки к морю. Ее хотели пымать, да куды там – с обрыва головой бухнулась, и только круги по воде.

Владычица села на кровати и расширенными от ужаса глазами посмотрела на Матрену.

Владычица бродила по лесу, искала траву. Лето клонилось к осени, и это было заметно по тому увяданию, которое тронуло уже своим дыханием лес. Было сыро и холодно.

Она зашла далеко и не столько собирала траву, сколько просто гуляла, наслаждаясь одиночеством и природой. И вдруг услыхала какой-то звук, который показался ей сначала криком зверя, а потом она поняла, что это стонет человек. Стон повторился, и она, продираясь сквозь кусты, осторожно пошла на него. Когда перед ней открылась небольшая поляна, она встала за дерево и затаилась.

На краю поляны под деревом стоял шалаш. Перед шалашом валялись перья и пустой ремешок, привязанный к колышку. Из шалаша доносился стон. Владычица осторожно приблизилась и заглянула внутрь шалаша. В шалаше на свалявшейся подстилке из отсыревшего сена лежал, разметавшись, Гринька. В какое-то мгновение она решила, что ей надо уйти, и пошла быстро, не оглядываясь, в сторону деревни. Наткнувшись на дерево, остановилась, прислонилась к нему щекой. И вдруг со всей ясностью поняла, что именно должна сейчас делать. Уже не раздумывая ни секунды, она кинулась со всех ног назад к шалашу. В шалаше она расправила сено под Гринькой, сняла с себя полушубок, укрыла им Гриньку, а его голову положила себе на колени. Напоила его из стоявшего рядом кувшина болотной водой. Он успокоился и затих.

Дело шло к вечеру, холодало, у Владычицы затекли ноги, но она сидела над Гринькой с неподвижным лицом, словно окаменела. Но вот он пришел в себя и открыл глаза. Увидев ее, он нисколько не удивился.

– Наконец-то, – вздохнул он облегченно. – Все же ты пришла. А я уже боялся, что ты меня не найдешь. Сейчас я встану, и мы с тобой отсюда пойдем.

Выражение ее лица нисколько не изменилось, будто она и не слышала этих слов, не заметила его пробуждения. Только из-под ресниц выступили и покатились по щекам две слезинки.

– Я так долго шел к тебе, – сказал он, помолчав и отдышавшись, – да вот захворал. Вчерась ночью волки напали. Я на дерево влез, а петуха задрали. Думал, один останусь, да вот ты подоспела. Теперь мы с тобой убежим отсюда.

Он хотел приподняться и снова потерял сознание.

В сумерках они пробирались к ее терему, далеко огибая деревню.

Вошли в терем через скотный двор. Она поддерживала Гриньку, помогая ему по шаткой лестнице взобраться на сеновал. Устроила ему в сене постель, накрыла полушубком. Потом прошла мимо Матрениной комнаты на цыпочках к себе, налила из кувшина кружку молока, отрезала ломоть хлеба. Только собралась выйти, когда на пороге появилась Матрена.

– Где это ты так поздно гуляла, матушка? – подозрительно спросила нянька.

– Траву в лесу собирала, – ответила Владычица, отхлебывая из кружки, – да заплутала маленько.

– А я уж собралась идтить в деревню, народ скликать. Ой, матушка, нешто можно одной далеко так в лес уходить? – Покачав головой, Матрена ушла.

Владычица подождала немного, долила в кружку молока и понесла Гриньке. Гринька спал, и дыхание его было спокойным. Владычица поставила рядом с ним кружку, накрытую хлебом, посмотрела на Гриньку и неожиданно для самой себя быстро поцеловала его в лоб. Тут же испугалась своего поступка и посмотрела на крышу. Но все было тихо. Дух ничего не заметил.

Летели на землю из-под топора щепки. Афанасьич тесал доски для новой лодки, каркас которой стоял тут же, во дворе. На завалинке сидел пьяный Мокеич и мотал головой:

– Мальчишку мово ты зря погубил, Афанасьич. Хороший был мальчишка, веселый. А то, что любил поозоровать, так это ж только по малолетству.

– Малолеток, – усмехнулся Афанасьич. – У меня в таки годы уже двое ребят было, а Гринька твой все в малолетках ходит. Да и озорство озорству рознь.

– Да он же просто любил пошутковать над людями, и зла в ем не было никакого, – стоял на своем Мокеич. – Уж на что я ему отец родной, а и надо мной шутковал. Грех ты взял, Афанасьич, на свою душу, большой грех.

Афанасьич опустил топор.

– А что ты меня-то винишь? – сказал он сердито. – Вся деревня супротив твоего Гриньки стояла. Хороши тоже шуточки – в Духа Святого вырядился. Да ты передо мной на коленях ползать должон, что я Владычицу уговорил над им сжалиться. Анчутка вон не за такое на дно пошла. Да он небось где ни то пристал и живет себе припеваючи, а ты по нем тут…

Он не договорил, увидев подошедшую к дому Матрену.

– Ты чего? – спросил он Матрену.

– Поди-ка, – поманила она.

Он бросил на землю топор и подошел. Матрена поднялась к нему на цыпочках и зашептала в самое ухо:

– Гринька-злодей объявился. Уж я тоже взяла грех на душу, видела все и молчала покуда, а тут ведь поправился, а сидит…

Владычица вошла к себе в комнату и, вздрогнув, остановилась. В комнате за столом сидел Афанасьич. При ее появлении он слегка привстал и, сдержанно поклонившись, сказал:

– Вот пришел, матушка, кой о чем покалякать.

Дурное предчувствие охватило ее, но она не выдала себя и, сев напротив Афанасьича, разрешила:

– Калякай.

– Хочу, матушка, загадочку тебе загадать. Ты у нас смышленая, может, и отгадаешь. Сидела белочка в своем дупле, ховала зайчика. Пришли охотнички, говорят: «Белочка, а белочка, отдай нам свово зайчика». Что белочка ответила? – старик лукаво прищурился.

– А может, никакого зайчика у ней не было? – в тон ему спросила Владычица.

– Был, – уверенно сказал Афанасьич.

– Ну тогда, значит, смотря какой зайчик и какая белочка, – сказала Владычица. – А то ведь может сказать: «Не отдам».

Старик покачал головой, недовольный таким ответом.

– Охотнички-то – ведь они народ лютый. За зайку могут и белочке шкурку попортить.

У Владычицы пересохло во рту. Она зачерпнула из бадьи ковш воды, отхлебнула, не отрывая взгляда от гостя.

– Трудную я тебе, матушка, загадочку загадал, – сказал он, – а отгадка у ней простая. Выпустить надо белочке зайку в лес, и пущай себе бежит да обратно не возвертается.

Она перегнулась через стол к старику и, понизив голос, сказала:

– А ты, охотничек, за свою старую шкурку-то не боишься? А то, гляди, как бы белочка волчицею не обернулась.

– А ты меня, матушка, не пужай, – сказал старик, поднимаясь. – Ты хоча и набрала силу большую, а супротив меня слабовата будешь. Старая-то Владычица с моей помочью под холмик легла. А и та, что до ней была, тоже, – старик приблизил к ней свое лицо и хихикнул. Вдруг лицо его преобразилось и приняло откровенно злобное выражение. – Давай говорить напрямки. – Старик заходил по комнате. – Ты с Гринькой живешь, и я знаю про это. Но мне-то что. Я старый. Я много кой-чего знаю, да молчу. Но народ узнает – худо будет. Вера в людях пропадет. А как жить без веры? И потому мой тебе сказ такой. Нонче, как только стемняет, отведешь Гриньку в лес. И пущай себе идет, куды хочет, никто его трогать не будет. И тогда все, что было, забудем. А если все в

точности не исполнишь, помни: в землю ляжешь живая. Прощай, матушка, – сменив тон с резкого на почтительный, заключил Афанасьич и, вежливо поклонившись, вышел.

Переждав немного, Владычица пошла за ним. Дверь в комнату Матрены была приоткрыта, в щелочке чернел глаз Матрены. Владычица потянула дверь на себя, едва не прищемив няньке нос.

Гринька ждал ее на сеновале. Самодельным ножом вырезал он из дерева какую-то фигурку.

– Что это? – спросила Владычица.

– Это петух, – сказал Гринька, протягивая ей деревяшку.

Владычица положила фигурку в сторону. Взяла из рук Гриньки нож, тоже отложила. Обняла Гриньку.

– Ты что? – испугался он. – Не боишься?

– Теперь все одно, – сказала она.

Вечером Матрена услышала плач и вышла из своей комнаты. Приложила ухо к двери Владычицы, послушала. Потом вышла на крыльцо и увидела: по тропинке в сторону леса с узелком в руках шел, спотыкаясь как пьяный, Гринька. Матрена постояла еще на крыльце и вернулась в терем, тихо прикрыв за собою дверь.

Петухи, надрывая глотки, старались перекричать друг друга. Над деревней вставало утро. Владычица сидела за столом, положив под голову руки. Очнулась, подняла голову. По ее изможденному лицу было видно, что она всю ночь не ложилась.

На дворе послышался голос Матрены:

– Куда ты прешь? А ну отойди отседова, сказано: не пущу.

Владычица выскочила на крыльцо. На крыльце Матрена боролась с Мокеичем, который пытался пробиться в терем.

– Отойди, – сказала Владычица, пихнув няньку локтем. – Ты что, Мокеич? – ласково спросила она.

Мокеич упал на колени и, воздев к ней руки, закричал в голос:

– Гриньку люди в лесе нашли… убитый…

Владычица сорвалась с места и побежала в сторону леса. За ней, отставая и падая, несся Мокеич.

Гринька лежал под кустом, наспех прикрытый хворостом и палыми листьями. Вокруг него молча толпился народ. Владычица разогнулась, посмотрела в лица людей. И каждый, встречая ее взгляд, опускал голову.

– Сейчас, – сказала Владычица, – всем идтить к моему терему.

Голос ее был спокоен. Она направилась в сторону деревни, сперва медленно, потом, вспомнив что-то, бегом.

Когда вошла к Афанасьичу, он сидел за столом и спокойно пил молоко. Увидев Владычицу, привстал, поклонился:

– Здравствуй, матушка! Садись откушай со мной молочка.

Одной рукой она выбила у него молоко, другой, сжатой в кулак, ударила старика в переносицу. Он опрокинулся через лавку, пытался вскочить, но Владычица снова свалила его и долго в исступленной ярости топтала ногами. Потом, шатаясь, вышла за дверь. Старик со стоном поднялся и, размазывая по лицу кровь, поплелся за ней.

Когда подошла к толпе, все наклонили головы, и мужики сняли шапки. Она прошла вдоль толпы туда и обратно. Остановилась. Тихо сказала:

– Вчерась я проводила Гриньку в лес. Он подбивал меня уйти с им, говорил, будто знает место, где нас никто не найдет. Я не пошла, потому как думала жить ради вас. А теперь мне больше жить неохота. Ни для вас и ни для себя. Вы убили Гриньку, убейте теперь и меня. Я была с им как с мужем.

Толпа зашумела. Держась за разбитую губу, выступил вперед Афанасьич.

– Не слухайте ее, люди! – закричал он. – Рассудок у нашей матушки помутился. Напраслину возводит она на себя.

Владычица подошла к нему и сказала почти ласково:

– Зачем так говоришь, Афанасьич? Уж кто-кто, а ты-то хорошо знаешь, что я с им жила.

– Врешь! – закричал Афанасьич, отшатываясь от нее. – Не знаю!

– И ты не знаешь, Матрена? – обратилась Владычица к няньке. – Не ты ли нас подглядела, а потом Афанасьичу донесла?

– Не было такого, – глядя в глаза Владычице, твердо сказала Матрена.

– Ну ладно, – Владычица вбежала в дом и тут же вернулась с мужским кушаком в руке. – Вот кушак. У Гриньки я на память взяла. Мокеич, может, это не Гринькин?

– Гринькин! – Мокеич выхватил у нее кушак и, припадая к нему лицом, заплакал.

– Коли этого мало, так, может, на сеновал пойдем, поглядим, где мы с ним целовались да миловались? – предложила она толпе.

– Бей ее! – заорал горбун, выскакивая вперед и замахиваясь на Владычицу дубиной.

Афанасьич успел удержать его руку.

– Погоди, Тимоха, – сказал он. – Ей будет другая кара.

– Об одном только прошу, – Владычица поклонилась народу, – покладите вместе с Гринькой. Не дали нам вместе быть на земле, хоть под землей будем вместе.

Секундное молчание нарушил Афанасьич.

– Не можем мы этого допустить, – мрачно сказал он, опуская голову. – Гринька был человек простой, и лежать ему среди простых людей. А ты какая ни на есть грешная, а Владычица, и похороны тебе будут особые.

Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда цвела, когда вызрела?
Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла?

Старухи в черных одеждах выстроились в две шеренги по обеим сторонам дорожки, ведущей от крыльца к калитке. Крайняя начинала, остальные подхватывали, косясь на носилки, которые проносили между ними два мужика. Владычица лежала вся в белом и смотрела живыми глазами в небо. Старухи с песней поворачивали и шли вслед за носилками. В толпе, как и положено при настоящих похоронах, причитали и плакали бабы. Носилки принесли на кладбище и положили возле могилы. Афанасьич первым наклонился и поцеловал Владычицу в лоб. За ним по очереди пошли остальные.

– Доченька, моя родная! – кинулась к носилкам Авдотья, но ее тут же схватили и оттащили, бьющуюся в истерике, в сторону.

Со восточной со сторонушки
Подымалися да ветры буйные…

– Опускайте! – приказал Афанасьич.

А старухи еще громче завыли:

Со громами да со гремучими,
Со молоньями да со палючими…

И вырос на кладбище Владычиц новый холм.

На рассвете другого дня горбун Тимоха ходил по деревне и, как ни в чем не бывало, выкрикивал весело:

– Эй, народ, выходи, никто дома не сиди. Будем пить и гулять, Владычицу вызнавать.

Но никто не откликался на его веселый призыв. Наглухо были заперты двери и окна. Не бродила по деревне скотина, не копошились в кучах мусора куры, собаки забились в будки и не выглядывали. Даже дым не курился над трубами.

На поляне возле леса за большим столом сидели старики, готовые к церемонии вызнавания. Вопросительно и тревожно поглядывали они на сидевшего во главе стола Афанасьича, но тот с каменным выражением смотрел в одну точку перед собой и молчал.

Солнце поднялось уже высоко. Сбившийся с ног Тимоха медленно брел по деревне и, потеряв всякую надежду, уныло выкрикивал:

– Эй, народ, выходи, никто дома не сиди…

Потом сел в пыль посреди дороги и, обращаясь к молчащим избам, отчаянно закричал:

– Да что ж это деется, люди? Что же вы не выходите? Неужто теперь нам без веры жить?

Обхватив голову руками, он зарыдал.

И тогда со скрипом робко приотворилась какая-то дверь…

1968 год

Запах шоколада

Недавно В. В. оказался в польском городе Бжег на Одере, где ровно сорок лет тому назад стоял 159-й гвардейский истребительный, Краснознаменный и ордена Суворова третьей степени полк. Сначала В. В. ничего не мог вспомнить, но вдруг подуло каким-то ветром, возник шоколадный запах, он вспомнил, что да, тут была шоколадная фабрика, а рядом с ней солдатская столовая, а тут была (вот она тут и есть!) булыжная мостовая от столовой к казарме. Когда солдаты шли по этой дороге в столовую или из, вдоль строя бежали мальчишки и просили «зигарек». В. В. думал, что зигарек – это что-то курительное, а оказалось – часы. Привычка выпрашивать часы перешла к детям послевоенных лет от предыдущего поколения, произраставшего во времена немецкой оккупации. У германских солдат часы-штамповка ничего, говорят, не стоили, но у их советских преемников у самих наручные часы были редкость.

Дорога шла мимо озера, где, убегая в самоволку, В. В. на берегу, отдаленном от пляжа, в негустых зарослях ивняка встречался с девушкой по имени Элька Гемба. Они виделись регулярно, но всегда только днем, потому что вечером долгое отсутствие В. В. в казарме было бы замечено. Днем же он был почти всегда свободен, поскольку служил с некоторых пор планшетистом при командире полка, дежурил только во время нечастых ночных полетов, а в остальное время его ничем не занимали и не тревожили, может быть, потому как раз, что, отсутствуя то на ночных дежурствах, то в самоволках, он выпал из сферы внимания своих непосредственных мелких начальников.

Их знакомство произошло через папиросы «Неман», которые В. В. как авиамеханик получал по пачке в день. Она подошла, попросила закурить, потом подошла еще. Так оно и продолжилось. В. В. приходил со своим «Неманом», угощал ее, угощался сам, но их отношения, несмотря на настойчивые домогательства В. В., за пределы платонических, увы, так никогда и не перешли. Хотя она иногда обещала большее.

Она работала посменно на той самой шоколадной фабрике, и сама вся пахла шоколадом целиком, запах шоколада источали ее пальцы, губы и волосы. Этот запах кружил ему голову, сводил с ума не меньше, чем даже прикосновение к ней.

Ей было двадцать пять, а ему двадцать. Ему казалось, она не знала, как его зовут, и даже не интересовалась. Она называла его просто Мальчик, и ему это нравилось. Она учила его польскому языку, всяким словам, приличным и неприличным, и учила целоваться, а когда он слишком распускал руки, она убирала их оттуда, куда они забирались, прижимала к груди, целовала их и тихо шептала: «Я ти (тебе) дам. Мальчик. Скоро. Але не тераз (но не сейчас). Але дам».

Они встречались в кустах и только иной раз купались вместе, но расходились поврозь, потому что общение с ней грозило ему наказанием «за связь с местным населением», а это что-то близкое к моральному разложению и шпионажу. А у нее тоже могли быть немалые неприятности, потому что женщина, которая путается с русским солдатом, – это курва и достойна презрения.

Вспомнив Эльку, он вспомнил и весь этот город – до каждого дома и дерева и до прочих мелких подробностей и, оглядевшись вокруг, вдруг увидел: да здесь совсем ничего не изменилось! Все стоит на тех же местах и в том же виде, как сорок лет назад, словно время над этим местом не властно. И он вдруг почувствовал, что расхожее выражение «время летит» неправильно. Оно движется очень медленно, может быть, даже вообще стоит, а мы сквозь него пролетаем.

Впрочем, как сказать… Теория относительности утверждает, что если вы сидите в поезде и вам кажется, что поезд стоит, а дома и деревья едут мимо, то считайте, что так оно и есть.

В Бжег на Одере прикатил он из Чехословакии, из города Миловице, в котором еще недавно проживало сто тысяч человек советских военных и обслуживающих. После оставления его советскими войсками Миловице превратился в город-призрак. Пустые улицы, танковые ангары, армейский клуб, вывеска на строении «…ольствен… агазин» и сотни совершенно одинаковых «хрущебных» домов, пустых и безжизненных, как после атомной войны, с окнами нижних этажей, заклеенными (зачем?) газетами «Красная звезда», «Правда», «Известия».

Осматривая этот странный город-призрак, он вспомнил свою собственную службу и места, где она протекала, сел на свой «БМВ» и через четыре часа въехал в город, из которого его когда-то вывезли на тягаче «ГАЗ-63».

Добравшись до центра, он вылез из машины, стоял, вертел головой, но ничего не мог вспомнить.

Пока не подуло от шоколадной фабрики.

И тогда город стал проступать в памяти, как фотография в проявителе, и проявленное один к одному совместилось с реальностью. И он тут же нашел и узнал дома, которые были казармами, а теперь в них жили польские цивильные обыватели (obyvatel – по-польски гражданин), и дорогу, и саму столовую, и озеро, вдоль которого проходила дорога.

В пивной возле озера он встретил одного русского человека, который здесь жил давно, по-польски не понимал ни слова, но знал всех и за кружку пива готов был на многое. За кружкой пива В. В. спросил его, знает ли он Эльку Гемба, он сказал «знаю», и они поехали. По дороге В. В. ругал себя, думая, зачем ему встречаться с какой-то старухой, что может иметь она общего с девушкой, от которой он уходил с искусанными губами и распухшими частностями приложения к организму, но вдруг его охватило и испугало странное предположение, что если в этом городе

время застыло, то, может быть, и Элька осталась такой, как была. И он встретит молодую женщину, которая скажет: «Мальчик, что же с тобой случилось?» Но его провожатый совпал в своих мыслях с В. В. и предупредил: «Но она старушка. Ей лет шестьдесят пять». В. В. согласился, что так примерно быть и должно, и, как ни странно, обрадовался.

Они подъехали к какому-то дому, В. В. постучался в дверь на первом этаже, дверь отворилась, и запах шоколада наплыл на него и окутал словно туман, в котором предметы немедленно потеряли отчетливость очертаний. Из тумана не сразу вырисовалась хозяйка, она стояла на пороге и выжидательно смотрела то на него, то на провожатого, вытирая мокрые руки о фартук. Ошалев от запаха, он внезапно потерял представление о времени, возрасте и обстоятельстве места действия и потянулся к ней руками и телом, но движение оказалось скорее воображаемым, чем физическим, и осталось незамеченным двумя другими участниками встречи, которые, впрочем, тоже были как будто взволнованы.

– Ну вот, – сказал провожатый, раскинув руки, одну – в сторону хозяйки, другую – в сторону В. В., как бы собираясь их обоих вместе соединить. – Ну вот.

В. В. пришел в себя и теперь смотрел на хозяйку с сомнением. Она была в возрасте, но взгляд еще живой и женский. Он спросил, зовут ли ее Элька. Она закивала головой: «Так, так, естем Элька». Он спросил фамилию. «Гембка». Не Гемба, а Гембка, но, может быть, он забыл, перепутал, может быть, Гембка. Он, вглядываясь в нее, спросил, не было ли у нее когда-нибудь русского друга, она, вглядываясь в него, сказала: нет, нет, русского не было. Хотя ей сейчас было бы приятно, чтобы какой-нибудь пожилой иностранец разыскивал ее из лирических побуждений. «Но может быть, ты не помнишь?» – спросил ее провожатый. «Нет, – сказала она, сожалея о несостоявшемся прошлом. – Если бы у меня такое было, я бы запомнила».

В. В. на этом не остановился и спросил, не жила ли пани когда-нибудь по улице Школьна, чтернаштя (четырнадцать). Пани покачала головой: нет, нет, не жила. И вдруг спохватилась: «Я знаю, о ком вы говорите! Она жила на Школьной, а потом переехала на Костюшко, у нее дочери лет уже, может, сорок. Да, правильно, ее звали Элька Гемба, «але она юж не жие» (но ее уже нет в живых).

Правду сказать, В. В. не очень-то удивился, он даже и не очень-то надеялся увидеть ее живой. Он сказал: извините, пани. Пани сказала: ну что вы, что вы. Она закрыла дверь, а он начал спускаться вниз, но вернулся и не успел еще дотянуться до кнопки, как дверь отворилась и хозяйка возникла снова с таким выражением, словно надеялась, что приезжий напомнит ей что-то, что сама она в памяти не удержала.

– Скажите, – сказал В. В. – вы работаете на шоколадной фабрике?

На фабрике? Шоколадной? Она удивилась: почему пан так думает? Пан объяснил: пахнет шоколадом. Правда? Она смутилась, как будто этот запах уличал ее в чем-то и соотносился с ней не по праву. Ах да! Она делала торт. Для внука. У него день рождения. И для него шоколадный торт. А на фабрике она не работает, пенсионерка. А когда работала, работала не на фабрике, а…

– Пшепрашем, пани, – перебил он ее. – Пшепрашем и привет вашему внуку. И передайте ему от меня… – Он снял с себя часы… чепуховые… та же штамповка, но современная, с календарем, будильником, таймером, чем-то еще и уверением, что в этих часах можно нырять на пятьдесят метров. – Вот… от меня… зигарек…

Провожатый вышел с ним на улицу и предложил поехать к Элькиной дочери. В. В. не захотел, а он спросил: «Почему ж ты не хочешь ее увидеть? Может быть, она твоя дочь?» – «Нет, – сказал В. В., – она не может быть моей дочерью». – «Почему?» – «Потому что не может быть».

Хотя так могло быть, но так не случилось. В день последнего их свидания В. В. расхрабрился и проявил большую настойчивость, и она уже почти совсем поддалась, но в последнее как будто мгновение опомнилась, оттолкнула его от себя и твердо сказала: нет, так не бенде (не будет). Он обиделся и отодвинулся. Она придвинулась, поцеловала и сказала на ухо, словно кто-то мог их подслушать: «Я ти кохам (я тебя люблю), Мальчик, я ти кохам». Он продолжал сопеть обиженно и услышал старый текст с новой вариацией: «Я ти дам. Але не тераз. Але не тутай (не тут)».

– Когда? Где? – спросил он сердито, подозревая, что ответа не будет, а будет сдавленный смешок, нежный поцелуй и повторение, что але не тераз.

– Ютро (завтра), – сказала она просто. – Ютро вечорем. Пшидешь до мне, Школьна, чтернаштя…

И стала объяснять ему, что она хочет, чтобы все было красиво. Чтобы были вино, свечи…

– Я на тебе женюсь! – вдруг пообещал он, хотя его никто за язык не тянул. Но он не врал, чувствовал, что он правда хочет прийти к ней, и прийти навсегда.

– Глупый, глупый, – сказала она, произнося это слово на польский манер, когда «л» почти не слышится и слово звучит как «гупый». – Гупый, то ти не вольно (нельзя).

– Можно, – сказал он с вызовом не слышащим его высшим силам. – Можно. Я ничей не раб и сам знаю, на ком можно жениться, на ком нельзя.

– Не вольно, – повторила она. – Ти ниц (ничего) не вольно, але я ти дам. Ютро вечорем, Школьна, чтернаштя. Запаментал (запомнил)? Школьна, чтернаштя…

…В тот день под влиянием каких-то неосознанных ими ощущений они расслабились и пошли по городу вместе. Никогда этого не делали раньше. А тут… Пошли вместе, и она взяла его под руку. И он шел, замерев, желая на всю жизнь приютить ее руку здесь.

Они не заметили группу военных на другой стороне улицы. Это были офицеры чужой, танковой, части и с ними один солдат.

Между прочим, в Советской армии между родами войск всегда была вражда, такая же бессмысленная и такого же точно происхождения, какая бывает между живущими по соседству народами. В. В. приходилось служить в местах, где встретить в темном закоулке человека с погонами другого цвета бывало страшней, чем солдата враждебной армии.

Солдат в черных погонах приблизился ленивой рысцой и, никак не обращаясь, сказал:

– Старший лейтенант Куроедов приказал тебе подойти.

Будучи человеком законопослушным (не очень, не очень), В. В. в другое время обязательно бы (может быть) подошел. Но тут с ним была девушка, в которую он был по уши (сегодня он это понял), потерявши голову (ой, что-то тут, кажется, грамматически не согласуется), в общем, совсем не в себе.

Элька хотела немедленно выдернуть руку, но он ее придержал и, слегка только повернув голову к гонцу, сказал:

– Если старшему лейтенанту нужно, скажи ему, пусть подойдет.

Гонец порысил назад, к офицерам, доложил, и В. В. увидел, что от группы офицеров отделился и направляется к ним старший лейтенант, наверное Куроедов.

– Мальчик, втекай (беги)! – прошептала Элька и вырвала руку из-под его подмышки.

– Зачем же? – спросил он беспечно.

Офицер прибавил шагу.

– Мальчик! – сказала Элька.

Он взял ее руку, чтобы пристроить на старое место.

Офицер побежал.

– Мальчик, – закричала она шепотом. – Мальчик, я ти прошу, втекай и запаментай: Школьна, чтернаштя…

Наконец-то он понял, что она права, и потек. Будучи лет на шесть-семь-восемь моложе старшего лейтенанта Куроедова, ему от последнего оторваться было не трудно. Но трудней было уйти от реальности.

Утром следующего дня 159-й гвардейский истребительный, Краснознаменный и ордена Суворова третьей степени полк был выстроен на плацу, и, сопровождаемый замполитом полка (под присмотром начальника особого отдела), старший лейтенант Куроедов ткнул пальцем в одну из выпяченных грудей и сказал уверенно:

– Он!

После чего В. В. был доставлен на гарнизонную гауптвахту, а оттуда прямо на поезд и в конце концов сам себя обнаружил на пересыльном пункте (армейском, а не тюремном) в городе Кинель Куйбышевской области. Власти проявили свойственный им гуманизм и не посадили преступника, а всего лишь выслали на родину.

Ужин при свечах с обещанными последствиями на Школьной, чтернаштя, не состоялся. И в появлении когда-то на свет Элькиной дочери, проживающей и поныне в городе Бжеге на Одере, В. В. ни малейшим образом не повинен.

А путешествие сорок лет спустя закончилось тем, что таможенник на польско-чешской границе спросил В. В., что он везет. В. В. показал две бутылки вина.

– А шоколад? – поинтересовался таможенник и попросил открыть багажник. Там не оказалось ничего, кроме запаски, набора инструментов и буксировочного троса на всякий случай. – Странно, – сказал таможенник, – очень странно, но ваша машина пахнет так, как будто сделана из шоколада.

– Моей машине это приятно слышать, – ответил В. В., – но она сделана в основном из металла. Правда, из надежного металла, потому что это «БМВ».

– Хорошая машина, – подтвердил таможенник с уважением. – Пан не собирается ее продать?

И, узнав, что пан не собирается, вернулся к теме шоколада, которым, по его мнению, где-то что-то все-таки пахло. В. В. ничем ему помочь не мог. Ничего похожего на шоколад он с собою не вез, кроме памяти, которая может хранить запахи, но вряд ли способна их источать.

1994

В кругу друзей

Не очень достоверный рассказ

об одной исторической вечеринке

Этот дом стоял за известным всему миру высоким забором из красного кирпича. В доме было много окон, но одно из них отличалось от всех прочих хотя бы тем, что светилось во всякое время суток. И люди, собираясь по вечерам на широкой площади перед забором, вытягивали шеи, до слез напрягали глаза и взволнованно говорили друг другу:

– Вон, видите, оно светится. Он не спит. Он работает. Он думает о нас.

Людям было лестно, что он думает именно о них, а не о чем-нибудь постороннем.

Если кто-нибудь из провинции ехал в этот город или должен был остановиться проездом, ему наказывали обязательно побывать на той знаменитой площади и посмотреть, горит ли окно. И осчастливленный житель провинции, возвращаясь домой, авторитетно докладывал на закрытых и общих собраниях: да, горит, да, светится, и, судя по всему, он действительно не спит и думает о нас.

Конечно, уже и в те времена некоторые люди злоупотребляли доверием своих коллективов: вместо того чтоб смотреть на окно, мотались по магазинам – где бы чего достать. А по возвращении все равно докладывали: светится, – и попробуй скажи, что нет.

Окно, конечно, светилось. Но того, про кого говорили, что он не спит, за тем окном никогда не бывало. Его заменяло гуттаперчевое чучело, сделанное лучшими мастерами, да так искусно, что, пока не потрогаешь, нипочем не поймешь, что оно не живое. Чучело повторяло основные черты оригинала и держало в руке изогнутую трубку английской работы, к которой при помощи специальных устройств подавался в определенном ритме табачный дым.

Что касается его самого, то он трубку курил только на людях, а усы носил накладные. Жил он совсем в другой комнате, в которой не было не то что окон, но даже дверей, а был потайной лаз через сейф с дверцами на две стороны, стоявший в официальном его кабинете.

Он любил эту комнату, где можно было быть самим собой: не курить трубку, не носить усы и вообще жить просто и скромно, соответственно обстановке, состоявшей из железной кровати с полосатым, набитым соломой матрацем, таза с теплой водой для умывания и старенького

патефона с набором пластинок, на которых он собственноручно отмечал: хорошо, посредственно, замечательно, дрянь.

Здесь, в этой комнате, проводил он лучшие часы своей жизни тихо, спокойно; здесь, втайне от всех, жил иногда со старушкой-уборщицей, которая через тот же сейф пролезала к нему по утрам с веником и ведром. Он звал ее к себе, она по-деловому ставила веник в угол, отдавалась, а затем снова продолжала уборку. За многие годы он не обмолвился с ней ни словом и даже не знал толком, одна это старушка или каждый раз разные.

Но однажды с ней произошел странный случай: она вдруг стала закатывать глаза и шевелить беззвучно губами. Он испугался и спросил:

– Ты чего?

– Да вот я думаю, – с безмятежной улыбкой сказала старушка. – Плименница ко мне приезжает, братнина дочка. Угощенье надо приготовить, а денег всего три рубли. То ли купить на два рубли пошена, а на рупь масла, то ли на два рубли масла, а на рупь пошена.

Его тогда глубоко тронула эта народная мудрость, и он написал записку на склад, чтобы старухе выдали сколько надо пшена и масла. Старуха, не будь дура, отнесла записку не на склад, а в Музей Революции, где получила такую сумму, что купила под Москвой домик, коровку, ушла с работы и, по слухам, до сих пор возит молоко на Тишинский рынок.

А он, вспоминая тот случай, часто говорил соратникам, что настоящему диалектическому мышлению надо учиться у народа.

Как-то, проводив старушку и оставшись один, он завел патефон и под музыку думал о чем-то великом. И под музыку вспомнилось ему далекое детство в маленьком кавказском городке, вспомнилась мать, простая женщина с морщинистым скорбным лицом, и отец, упорным и каждодневным трудом достигший заметных успехов в сапожном искусстве.

«Сосо, из тебя никогда не выйдет настоящий сапожник. Ты хитришь и экономишь на гвоздях», – говорил, бывало, отец, ударяя его колодкой по голове.

Это все не прошло даром, и теперь, в позднем возрасте, его часто мучили жестокие головные боли. Если бы отца воскресить и спросить: разве можно бить ребенка колодкой по голове? Как ему хотелось, как страстно хотелось воскресить отца и спросить…

Но сейчас его волновало другое. До него доходили мрачные слухи, что Адик, с которым он в последнее время крепко подружился, собирается изменить дружбе и перейти границу. Он считал себя самым вероломным человеком на свете и не мог поверить, что есть человек еще вероломнее. Его призывали приготовиться к защите от Адика, он эти призывы расценивал как провокацию и ничего не делал, чтобы не обидеть Адика напрасной подозрительностью. Самый подозрительный человек на земле, в отношениях с Адиком он был доверчив, как дитя.

Все же, чем ближе была самая короткая ночь, тем тревожнее было у него на душе. Боязно было оставаться в ту ночь одному.

** * **

Вечером, накануне самой короткой ночи, он надел свой выцветший полувоенный костюм, приладил под носом усы, раскурил трубку и стал тем, кем его знали все, то есть товарищем Кобой. Но прежде чем выйти в люди, он обратился к большому зеркалу, висевшему на стене против его кровати. С трубкой в руке мягкой походкой прошел он перед зеркалом туда и сюда, искоса поглядывая на свое отражение. Отражением он остался доволен. Оно передавало некоторую величественность отражаемого объекта, если не вглядываться слишком подробно. Но кто же позволит себе разглядывать товарища Кобу подробно? Усмехнувшись, товарищ Коба кивнул своему отражению и обычным путем, через сейф, пролез к себе в кабинет. Здесь он сел за стол и принял такую позу, словно работал, не отрываясь, целые сутки. Не меняя позы, нажал кнопку звонка. Вошел личный его секретарь товарищ Похлебышев.

– Послушай, дорогой, – сказал ему товарищ Коба, – что ты все ходишь со своими бумажками, как какой-то бюрократ, честное слово. Собери лучше наших ребят, пусть придут после работы, надо как-то отдохнуть, отвлечься, поболтать, повеселиться в дружеском тесном кругу.

Похлебышев вышел и вернулся.

– Все собрались и ждут вас, товарищ Коба.

– Очень хорошо, пускай подождут.

Он уже успел увлечься интереснейшим делом – вырезал из свежего номера «Огонька» портреты передовиков производства, мужские головы приклеивал к женским туловищам и наоборот. Получалась прелюбопытная композиция. Правда, заняла она у него довольно много времени.

Наконец он появился в той комнате, где его ожидали. На столе в три ряда стояли бутылки «Московской», «Боржоми» и сухого вина «Цинандали». Закуски тоже хватало. Ребята, во избежание путаницы, занимали за столом свои места в алфавитном порядке: Леонтий Ария, Никола Борщев, Ефим Вершилов, Лазер Казанович, Жорж Меренков, Опанас Мирзоян и Мочеслав Молоков. При появлении Кобы все поднялись из-за стола и приветствовали вошедшего бурными аплодисментами и возгласами: «Да здравствует товарищ Коба!», «Слава товарищу Кобе!», «Товарищу Кобе ура!»

Товарищ Коба обежал глазами лица ребят и удивился, заметив свободное место между Вершиловым и Казановичем.

– А где же наш верный соратник товарищ Жбанов? – поинтересовался он.

Похлебышев выступил из-за его спины и доложил:

– Товарищ Жбанов просил разрешения задержаться. Его жена умирает в больнице, ей хочется, чтобы последние минуты он побыл рядом с ней.

Товарищ Коба нахмурился. По лицу его пробежала легкая тень.

– Интересное получается положение, – сказал он, не скрывая горькой иронии, – мы здесь собрались, ждем, а ему, видите ли, женский каприз дороже внимания товарищей. Ну что ж, подождем еще.

Сокрушенно покачав головой, он вышел и вернулся к себе в кабинет. Заниматься было вроде бы нечем, все картинки из «Огонька» он вырезал, остался только кроссворд. Он сунул кроссворд Похлебышеву.

– Ты читай, а я буду отгадывать. Что там у нас по горизонтали?

– «Первая грузинская нелегальная газета», – прочел Похлебышев и сам же закричал: – «Брдзола»! «Брдзола»!

– Что ты мне подсказываешь? – рассердился Коба. – Я и сам мог бы угадать, если б подумал. Ну ладно, теперь читай по вертикали.

– «Крупнейшее доисторическое животное», – прочел Похлебышев.

– Это очень просто, – сказал товарищ Коба. – Самое крупное животное – слон. Почему не пишешь «слон»?

– Не подходит, товарищ Коба, – робея, сказал секретарь.

– Не подходит? Ах да, доисторическое. Тогда пиши «мамонт».

Похлебышев склонился над кроссвордом, потыкал острием в клетки, поднял на товарища Кобу отчаянные глаза.

– Опять не подходит? – удивился Коба. – Да что же это такое? Разве может быть животное крупнее, чем мамонт? Дай-ка сюда. – Посасывая трубку, смотрел, считал, размышлял вслух: – Десять букв. Первая буква «бэ». Может быть, бармалей, нет? Нет. Баран, бурундук – все это довольно мелкие животные, как я понимаю. А что, если позвонить нам нашим видным ученым-биологам? Что нам гадать, пусть ответят научно: было животное на «бэ» крупнее, чем мамонт, или же не было. А если не было, то автору этого кроссворда я не завидую.

Поздно ночью в квартире академика Плешивенко раздался резкий телефонный звонок. Хриплый и властный голос срочно потребовал академика к аппарату.

Сонная жена академика сердито сказала в трубку:

– Товарищ Плешивенко не может подойти к телефону. Он не здоров и спит.

– Разбудить! – последовал короткий приказ.

– Как вы смеете! – возмутилась жена. – Вы знаете, с кем говорите?

– Знаю, – нетерпеливо ответил голос. – Разбудить!

– Но это безобразие! Я буду жаловаться! Я позвоню в милицию!

– Разбудить! – настаивал телефон. Но академик и сам уже пробудился.

– Троша, – кинулась к нему жена. – Троша, ты слышишь?

Троша недовольно взял трубку и услыхал:

– Товарищ Плешивенко? Сейчас с вами будет говорить лично товарищ Коба.

– Товарищ Коба? – Плешивенко словно ветром сдуло с постели. В одних кальсонах, босой, стоял он на холодном полу. Жена со смешанным выражением счастья и ужаса стыла рядом.

– Товарищ Плешивенко, – раздался в трубке знакомый голос с кавказским акцентом, – извините, что звоню вам так поздно…

– Что вы, товарищ Коба… – захлебнулся Плешивенко. – Я так счастлив… Я и моя жена…

– Товарищ Плешивенко, – перебил Коба, – я вам, собственно говоря, звоню по делу. Тут у некоторых наших товарищей родилась довольно-таки смешная и необычная мысль: а что, если в целях поднятия производства мяса и молока вернуть в нашу фауну крупнейшее доисторическое животное… черт, никак не могу вспомнить название. Помню, что из десяти букв, на «бэ» начинается.

– Бронтозавр? – подумав, неуверенно спросил Плешивенко.

Коба быстро прикинул на пальцах:

– Бэ, рэ, о, нэ… – Прикрыл трубку ладонью и, подмигнув лукаво, шепнул Похлебышеву: – Запиши: «бронтозавр». – И громко сказал в трубку: – Совершенно верно. Именно бронтозавр. Как вы относитесь к этой идее?

– Товарищ Коба, – растерялся Плешивенко, – это очень смелая и оригинальная идея… То есть я хотел сказать, что это просто…

– Гениально! – очнувшись от оцепенения, ткнула академика кулаком в бок жена. Она не знала точно, о чем идет речь, она знала, что слово «гениально» в таких случаях никогда не бывает лишним.

– Это просто гениально! – решительно заявил академик, тараща глаза в пространство.

– Для меня это просто рабочая гипотеза, – скромно сказал товарищ Коба. – Сидим, работаем, думаем.

– Но это гениальная гипотеза, – смело возразил академик. – Это величественный план преобразования животного мира. Если только вы разрешите нашему институту взяться за разработку хотя бы отдельных аспектов проблемы…

– Мне кажется, об этом еще надо очень крепко подумать. Еще раз извините, что так поздно вам позвонил.

Плешивенко долго стоял с трубкой, прижатой к уху, и, напряженно вслушиваясь в далекие частые гудки, шептал благоговейно, но громко:

– Гений! Гений! Какое счастье, что мне довелось жить с ним в одну эпоху!

Академик не был уверен, что его слушают, но надеялся, что не без этого.

Когда товарищ Коба вернулся в общую комнату, все было в порядке: Антона Жбанова успели доставить и водворить на отведенное место. Леонтий Ария разлил водку в большие фужеры, товарищ Коба провозгласил первый тост.

– Дорогие друзья, – сказал он, – я пригласил вас сюда для того, чтобы в дружеском тесном кругу отметить самую короткую ночь, которая сейчас наступила, и самый длинный день, который придет ей на смену…

– Ура! – крикнул Вершилов.

– Не спеши, – поморщился Коба. – Ты всегда спешишь поперед батьки в пекло. Я хочу провозгласить тост за то, чтобы все наши ночи были короткие, чтобы все наши дни были длинные…

– Ура! – крикнул Вершилов.

– Тьфу ты, мать твою так! – Товарищ Коба, рассердившись, плюнул ему в лицо.

Вершилов смахнул плевок рукавом и осклабился.

– Я также хочу провозгласить тост за самого мудрого нашего деятеля, за самого стойкого революционера, за самого гениального…

Вершилов на всякий случай хотел еще раз крикнуть «ура!», зная, что каши маслом не испортишь, но товарищ Коба на этот раз успел плюнуть прямо в открытый для выкрика рот.

– …за великого нашего практика и теоретика, за товарища… – Коба выдержал многозначительную паузу и четко закончил: – Молокова.

В комнате стало тихо. Меренков переглянулся с Мирзояном, Борщев расстегнул ворот украинской рубахи, Ария хлопнул в ладоши и схватился за задний карман, из которого выпирало что-то угловатое.

В дверях появились и застыли две безмолвные фигуры.

Молоков, бледнея, отставил фужер и, поднявшись на ноги, вцепился в спинку стула, чтоб не упасть.

– Товарищ Коба, – упрекнул он коснеющим языком, – за что? Зря обижаете. Вы же знаете, что я недостоин, что у меня и в мыслях ничего похожего не было. Вся моя скромная деятельность – только отражение ваших великих идей. Я, если можно так выразиться, только рядовой проповедник кобизма, величайшего учения нашей эпохи. Я, если прикажете, готов отдать за вас все, даже жизнь. Это вы самый стойкий революционер, вы – великий практик и теоретик…

– Гений! – провозгласил Ария, поднимая фужер левой рукой, так как правая лежала еще на кармане.

– Замечательный зодчий! – констатировал Меренков.

– Лучший друг армянского народа, – вставил Мирзоян.

– И украинского, – добавил Борщев.

– А ты, Антоша, что же молчишь? – обратился Коба к грустному Жбанову.

– А что говорить мне, товарищ Коба? – возразил Жбанов. – Товарищи очень хорошо осветили вашу разностороннюю роль в истории и в современной жизни. Мы, может быть, еще слишком мало об этом говорим, может быть, слишком стесняемся высоких слов, но ведь это же все правда, все это действительно так, и сама наша жизнь повседневно дает нам много наглядных примеров того, что кобизм все глубже и глубже проникает в сознание масс и становится поистине путеводной звездой для всего человечества. Но мне, товарищ Коба, хотелось бы здесь, в непринужденной товарищеской обстановке, напомнить еще об одном громадном таланте, которым вы обладаете и о котором с присущей вам скромностью не любите говорить. Я имею в виду ваш литературный талант. Да, товарищи, – возвысив голос, сказал он, обращаясь уже ко всем. – Недавно мне довелось еще раз перечесть старые стихи товарища Кобы, которые он подписывал псевдонимом Соселло. И я должен сказать со всей прямотой, что стихи эти, как драгоценные жемчужины, могли бы украсить сокровищницу любой национальной литературы, всей мировой литературы, и если бы был жив сейчас Пушкин…

И тут Жбанов заплакал.

– Ура! – крикнул Вершилов, на этот раз тихо и безвозмездно.

Обстановка разрядилась. Леонтий хлопнул в ладоши – две безмолвные фигуры возле дверей испарились. Товарищ Коба смахнул со щеки набежавшую внезапно слезу. Может быть, он не любил, когда ему говорили такие слова. Но еще больше он не любил, когда ему таких слов не говорили.

– Спасибо, дорогие друзья, – сказал он, хотя слезы мешали ему говорить. – Спасибо за то, что вы так высоко цените мои скромные заслуги перед народом. Я лично думаю, что мое учение, которое вы так удачно назвали кобизмом, действительно хорошо не потому, что оно – мое учение, а потому, что оно передовое учение. И вы, дорогие друзья, вложили немало сил для того, чтобы сделать его действительно таковым передовым. Так выпьем же без ложной скромности за кобизм.

– За кобизм! За кобизм! – подхватили товарищи. Хлопнули по фужеру, потом еще. После четвертого фужера товарищ Коба решил поразвлечься и попросил Борщева сплясать гопака.

– У тебя, хохол, это очень хорошо получается, – поощрил он.

Борщев с места пошел вприсядку, Жбанов аккомпанировал на рояле, остальные прихлопывали в ладоши.

В это время бесшумный помощник принес Жбанову телеграмму, в которой сообщалось, что жена Жбанова скончалась в больнице. Это сообщение рассердило Жбанова.

– Не мешайте мне, – сказал он помощнику. – Вы же видите, что я занят.

Помощник удалился. Пока еще твердой походкой подошел лично товарищ Коба. Шершавой мужской ладонью погладил он верного соратника по голове.

– Ты настоящий большевик, Антоша, – сказал он проникновенно.

Жбанов поднял на учителя преданные и полные слез глаза.

– Играй, играй, – сказал товарищ Коба. – Из тебя мог бы получиться очень большой музыкант. Но все силы, весь свой талант ты отдаешь нашей партии, нашему народу.

Коба отошел к столу и сел напротив Молокова, Мирзояна и Меренкова, которые о чем-то толковали между собой.

– О чем беседа? – поинтересовался товарищ Коба.

– Мы говорим, – охотно отозвался Молоков, сидевший в центре, – что контракт с Адиком, заключенный по вашей инициативе, был весьма мудрым и своевременным.

Коба нахмурился. В свете поступавших сообщений меньше всего ему хотелось вспоминать об этом проклятом контракте.

– Интересно, – сказал он, глядя в упор на Молокова, – интересно мне знать, Моча, почему ты носишь очки?

Снова запахло грозой. Жбанов стал играть несколько тише. Борщев, приседая, поглядывал то на Молокова, то на Кобу. Меренков с Мирзояном на всякий случай отодвинулись, каждый к своему краю стола.

Молоков, белый как полотно, поднялся на непослушные ноги и, не зная, что сказать, молча смотрел на товарища Кобу.

– Так ты не можешь сказать мне, почему ты носишь очки?

Молоков молчал.

– А я знаю. Я очень хорошо знаю, почему ты носишь очки. Но я тебе этого пока не скажу. Я хочу, чтобы ты сам подумал своей головой и сказал мне правду, почему ты носишь очки.

Погрозив Молокову пальцем, Коба вдруг уронил голову в тарелку с зеленым горошком и тут же заснул.

– Надо ноги размять, – бодро сказал Мирзоян и с независимым видом вылез из-за стола. Вылез и Меренков. Пользуясь бесконтрольностью, Вершилов и Казанович сели в угол сыграть в картишки. Борщев, не получивший разрешения на отдых, все еще плясал под аккомпанемент Жбанова, но уже халтурил и не приседал, а лишь слегка подгибал ноги.

Ария играл сам с собой в «ножички».

Эта мирная картина неожиданно рухнула. Вершилов вдруг размахнулся и врезал Казановичу звонкую оплеуху. Казанович не стерпел и с визгом вцепился ногтями в лицо Вершилова. Покатились по полу.

Разбуженный шумом, поднял голову лично товарищ Коба. Заметив это, Борщев с новой силой пустился вприсядку, Жбанов заиграл в более быстром темпе, а Меренков и Мирзоян в такт музыке снова стали прихлопывать.

– Хватит, – сердито махнул рукой Коба Борщеву. – Отдохни.

Никола, шатаясь, подошел к столу и выпил фужер «Боржоми».

Вершилов и Казанович, рассыпав карты, все еще катались по полу. Казановичу удалось схватить противника за правое ухо, Вершилов же норовил ударить Казановича коленом ниже живота. Коба подозвал Арию.

– Послушай, Леонтий, что это за люди? Это наши вожди или же гладиаторы?

Ария, отряхнув колени, стоял перед Кобой с кривым кавказским кинжалом, тем самым, которым он только что играл в «ножички».

– Разнять, что ли? – мрачно спросил Ария, пробуя лезвие ногтем.

– Будь добр. Только, пожалуйста, убери кинжал. Не дай Бог, случится несчастье.

Леонтий засунул кинжал за пояс, подошел к дерущимся и дал пинка сперва одному, а затем и другому. Оба вскочили на ноги и предстали перед товарищем Кобой в весьма неприглядном виде. Вершилов размазывал по лицу кровь, Казанович осторожно трогал налившийся под левым глазом синяк.

– Ну и ну! – покачал головой Коба. – И этим людям наш народ доверил свою судьбу. Во что это вы играли?

Враги смущенно потупились.

– Ну, я вас спрашиваю. – Казанович исподлобья глянул на Кобу.

– В буру, товарищ Коба.

– В буру?

– Просто так, товарищ Коба. Просто ради шутки.

– Не понимаю, – товарищ Коба развел руками. – Кто здесь находится? Вожди? Руководители? Или просто блатная компания? И что же вы не поделили?

– Жид передергивает, – выступил вперед Вершилов.

– Что это за слово такое – жид? – сердито спросил Коба.

– Извиняюсь, еврей, – поправился Вершилов.

– Глупый человек, – вздохнул Коба. – Антисемит. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты бросил эти свои великодержавные замашки. Даю тебе неделю сроку, чтобы ты изучил все мои работы по национальному вопросу. Ты понял меня?

– Понял.

– Иди. А ты, Казанович, тоже ведешь себя не совсем правильно. Вы, евреи, своим вызывающим поведением и своим видом создаете самую лучшую почву для антисемитизма. Я уже устал от борьбы с антисемитами, и когда-нибудь мне эта борьба надоест.

Он хотел развить эту мысль, но появился Похлебышев.

– Товарищ Коба, поступило донесение: войска Адика подошли вплотную к границе.

От этих слов неуютно стало товарищу Кобе.

– Подойди сюда, – сказал он секретарю. – Наклони голову.

Он взял со стола погасшую трубку и стал выбивать ее о лысеющее темя Похлебышева.

– Адик – мой друг, – сказал он, как бы вколачивая эти слова в голову секретаря. – У нас на Кавказе существует обычай горою стоять за друга. Можно простить, когда обижают сестру или брата, можно простить, когда обижают отца или мать, но когда обижают друга, простить нельзя. Обижая моего друга, ты обижаешь меня.

Он бросил трубку на стол и пальцем поднял подбородок Похлебышева. По лицу Похлебышева текли крупные слезы.

– О, ты плачешь! – удивился товарищ Коба. – Почему же ты плачешь, скажи мне?

– Я плачу потому, что вы так трогательно говорили о дружбе, – сказал Похлебышев, всхлипывая и дергая носом.

Товарищ Коба смягчился.

– Ну ладно, – сказал он потеплевшим голосом. – Я знаю, что ты хороший человек, ты только с виду такой суровый. Пойди отдохни и скажи доктору – пусть помажет тебе голову йодом. Не дай Бог, получится заражение.

После этого товарищ Коба собрал всех к столу и предложил выпить за дружбу.

– Товарищ Коба, – спросил Молоков, – мне тоже можно выпить с вами?

Коба ничего не ответил, пропустил вопрос мимо ушей. Молоков подержал фужер с водкой и, ни на что не решившись, поставил на место.

Затем товарищ Коба выразил желание немного помузицировать. Он подошел к роялю и, аккомпанируя себе одним пальцем, исполнил известную частушку следующего содержания:

Я на горке была,
Я Егорке дала…
Не подумайте плохого,
Я махорки дала.

Все дружно засмеялись и зааплодировали. Товарищ Жбанов в короткой речи отметил высокие художественные достоинства произведения. Вершилов, достав из кармана блокнот и огрызок химического карандаша, попросил разрешения тут же списать слова.

– Я тоже спишу, – сказал Борщев. – Жинке завтра спою. Вот будет смеяться.

– Пускай посмеется. – Коба вернулся на свое место за столом, сел и, подложив под голову руки, тут же заснул.

Наступал самый ранний в то лето рассвет. За окном постепенно светлело, словно чернила понемногу разбавляли водой. На фоне светлевшего неба все резче очерчивались и становились все выпуклее золотые маковки церквей.

Выпито было немало, вся компания слегка притомилась. Товарищ Коба спал за столом. Ария, держась за задний карман, полулежа дремал на диване. Мирзоян громко храпел под столом, упираясь подошвой в щеку Меренкова. Молоков с каменным лицом, не рискуя пошевелиться, сидел перед товарищем Кобой. Казанович с Вершиловым, помирившись, играли в карты. Жбанов в другом углу, упершись лбом в холодную стену, пытался блевать. Один только Борщев тихо бродил по комнате с таким сосредоточенным видом, словно что-то потерял и хотел найти. Он, кажется, протрезвел, и теперь голова болела с похмелья и наполнялась неясными мрачными мыслями. Сочувственно морщась, он постоял возле Жбанова и порекомендовал ему старое народное средство – два пальца в рот. Жбанов промычал что-то неопределенное и помотал головой. Борщев подошел к картежникам и стал следить за игрой просто из любопытства, но Вершилов его вскоре прогнал. Борщев посмотрел на Леонтия и, убедившись, что тот спит, подсел к Молокову, соблюдая, однако, некоторую дистанцию. Стремясь обратить на себя внимание соседа, шумно вздохнул. Молоков, не поворачивая головы, скосил глаза на Борщева. Тот подмигнул в ответ и сказал шепотом:

– Ты бы очки снял покамест. Товарищ Коба в последнее время нервенный ходит, и ты его не дражни. Потом забудет, обратно наденешь. – Он схватил со стола огурец, надкусил и выплюнул: огурец был горький. Покосился на Кобу и снова вздохнул. – Трудно с им, конечно, работать. Ведь не простой человек – гений. А я-то тут при чем? Я раньше на шахте работал, уголь долбал. Работа нельзя сказать чтобы очень чистая, но жить можно. А теперь вот в вожди попал и портреты мои по улицам перед народом носят. А какой из меня вождь, если все мое образование – три класса да ВПШ. Вы-то все люди выдающие. Теоретики. Про тебя в народе слух ходит, будто двенадцать языков знаешь. А я вот, к примеру, считаюсь будто как украинец и жил на Украине, а языка ихнего, хоть убей, не понимаю. Чудной он какой-то. По-нашему, скажем, лестница, а по-ихнему драбына. – Словно впервые пораженный странностями непонятного ему языка, Борщев засмеялся.

Улыбнулся и Молоков. Слухи о его познаниях в иностранных языках были сильно преувеличены. Просто товарищ Коба когда-то для поднятия авторитета вождей наделил их достоинствами, о которых они раньше не подозревали. Так Меренков стал крупнейшим философом и теоретиком кобизма, Мирзоян – коммерсантом, Казанович – техником, Ария – психологом, Вершилов – замечательным полководцем, Жбанов – специалистом по всем искусствам, Борщев – украинцем, а он, Молоков, зная несколько чужих слов и выражений, – полиглотом.

Ничего этого Молоков своему собеседнику, естественно, не сказал, а сказал только, что и ему здесь живется не сладко.

– Да я нешто не вижу, – вздохнул Борщев. – Это ж надо совесть какую иметь – из-за очков придираться. Почему, мол, носишь очки. А может, тебе так нравится. Да я бы, на мой характер, – загорелся Никола, – ему за такие слова в рожу бы плюнул, не постеснялся.

В это время товарищ Коба пошевелился. Борщев замер, холодея от ужаса, но тревога оказалась напрасной – товарищ Коба пошевелился, но не проснулся. «Вот дурак-то, – с облегчением подумал про себя Никола. – Вот уж правда язык без костей. Да с таким языком ой как вляпаться

можно!» Он решил больше не разговаривать со своим опальным коллегой, но, не удержавшись, снова склонился к уху Молокова.

– Слушай, Мочеслав, – зашептал он, – а что, если попроситься у него, чтоб отпустил? Ведь ежли он гений, так пущай сам все и решает. А мы-то ему на кой?

– Ну да, – сказал Молоков. – А жить на что?

– А в шахту пойдем. Уголь долбать я тебя научу – дело простое. Снизу пласт подрубаешь, сверху отваливаешь. Заработки, конечно, не то что у нас, но зато ж и риску меньше. Завалить-то может, но это ж один раз, а тут каждый день помираешь от страху.

Он вздрогнул и выпрямился, услышав сзади чье-то дыхание. Сзади стоял Ария. Почесывая за ухом рукояткой кинжала, он переводил любопытный взгляд с одного собеседника на другого.

– О чем, интересно, такой увлекательный разговор? – спросил он, подражая интонации товарища Кобы.

«Слышал или нет?» – мелькнуло у обоих одновременно.

«Слышал», – решил Молоков и тут же нашел самый верный выход из положения.

– Да вот товарищ Борщев, – сказал он с легким сарказмом, – предлагает мне вместе с ним отстраниться от активной деятельности, уйти во внутреннюю эмиграцию.

Но Борщев был тоже парень не промах.

– Дурак ты! – сказал он, поднимаясь и расправляя грудь. – Я тебя только пощупать хотел, чем ты дышишь. Тебе все равно никто не поверит, все знают, я очки не ношу, я ясными глазами смотрю в глаза товарища Кобы и в светлые дали прекрасного будующего.

– Вот именно что «будующего», – передразнил Молоков. – Ты бы русский язык сперва подучил, а потом…

Фразу он не закончил. К счастью для обоих, в комнату ворвался Похлебышев с перебинтованной головой.

– Товарищ Коба! Товарищ Коба! – закричал он с порога, за что тут же получил по уху от Леонтия.

– Ты разве не видишь, – сказал Леонтий, – что товарищ Коба занят предутренним сном? Что там еще случилось?

Похлебышев трясся от необычайного возбуждения и повторял одно слово: «Адик». С большим трудом удалось из него выжать, что войска Адика хлынули через границу.

Тут же состоялось экстренное, специальное и чрезвычайное заседание. Председательствовал Леонтий Ария. Почетным председателем был избран спавший тут же товарищ Коба. Стали думать, как быть. Вершилов сказал, что необходимо объявить всеобщую мобилизацию. Казанович предложил немедленно взорвать все мосты и вокзалы. Мирзоян, взяв слово для реплики, заметил, что, хотя они собрались своевременно и в деловой обстановке, нельзя не учитывать факта присутствия и одновременно отсутствия товарища Кобы.

– Мы, – сказал он, – конечно, можем принять то или иное решение, но ведь не секрет, что никто из нас не гарантирован от серьезных ошибок…

– Но ведь мы представляем собой коллектив, – сказал Казанович.

– Коллектив, товарищ Казанович, состоит, как вам известно, из отдельных личностей. Если одна личность может совершить одну ошибку, несколько личностей могут совершить несколько ошибок. Безошибочно мудрое и правильное решение может принять только один человек. Этот человек – товарищ Коба, но он, к сожалению, занят сейчас предутренним сном.

– Что значит «к сожалению»? – вмешался Леонтий Ария. – В этом вопросе я должен поправить товарища Мирзояна. Это большое счастье, что в такое трудное для всех нас время товарищ Коба занят предутренним сном, накапливает силы для дальнейшего принятия самых мудрых решений.

В порядке ведения слово взял Меренков. Он сказал:

– Целиком и полностью поддерживаю товарища Арию, который вовремя одернул за непродуманное выступление товарища Мирзояна. По всей видимости, товарищ Мирзоян не имел преступного умысла, и данное его высказывание следует считать простой оговоркой, хотя, конечно, иногда бывает довольно затруднительно провести достаточно четкую грань между простой оговоркой и продуманным преступлением. В то же время, я думаю, было бы целесообразно признать правоту товарища Мирзояна, считающего, что только товарищ Коба может принять правильное, мудрое и принципиальное решение по поводу вероломного нападения Адика. Однако в связи с этим встает и другой вопрос, требующий незамедлительного разрешения, вопрос, который я предлагаю немедленно обсудить: будить ли товарища Кобу сейчас или подождать, пока он проснется сам?

По этому вопросу мнения товарищей разделились. Некоторые полагали, что надо будить, другие предлагали подождать, потому что товарищ Коба сам знает, когда ему нужно спать, когда просыпаться.

Товарищ Жбанов, несмотря на только что сообщенную ему весть и нездоровье от отравления алкоголем, принял активное участие в прениях и сказал, что, прежде чем решать вопрос о том, будить ли товарища Кобу, необходимо решить предыдущий, так сказать, подвопрос, насколько серьезны намерения Адика и не есть ли это только провокация, направленная к перерыву сна товарища Кобы. Но решить, серьезное это нападение или же провокация, может опять-таки только лично товарищ Коба.

В конце концов были поставлены на голосование два вопроса:

1. Разбудить товарища Кобу.

2. Не будить товарища Кобу.

Результаты голосования по обоим вопросам были такие:

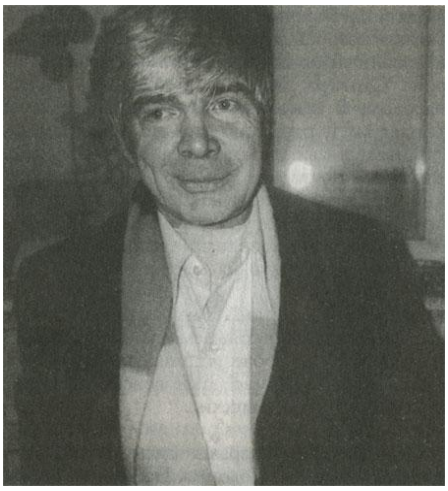
Кто за? Никто. Кто против? Никто. Кто воздержался? Никто.

В протоколе было записано, что решения по обоим вопросам приняты единогласно. Товарищу Мирзояну было указано на непродуманность некоторых его высказываний.

После составления протокола неожиданно в порядке дополнения взял слово товарищ Молоков. Он понял, что спасение его сейчас только в активных действиях, и сказал, что ввиду сложившейся ситуации он намерен немедленно разбудить товарища Кобу и взять на себя ответственность за все последствия своего поступка. После этого он решительно подошел к товарищу Кобе и стал трясти его за плечо.

Венедикт Ерофеев

Справочный материал



Ерофеев Венедикт Васильевич. Родился 24 октября 1938 года на Кольском полуострове, за Полярным кругом. Впервые в жизни пересек Полярный круг (с севера на юг, разумеется), когда по окончании школы с отличием, на 17-м году жизни, поехал в столицу ради поступления в Московский университет.

Поступил, но через полтора года был отчислен за нехождение на занятия по военной подготовке. С тех пор, то есть с марта 1957 года, работал в разных качествах и почти повсеместно: грузчиком продовольственного магазина (Коломна), подсобником каменщика на строительстве Черемушек (Москва), истопником-кочегаром (Владимир), дежурным отделения милиции (Орехово-Зуево), приемщиком винной посуды (Москва), бурильщиком в геологической партии (Украина), стрелком военизированной охраны (Москва), библиотекарем (Брянск), коллектором в геофизической экспедиции (Заполярье), заведующим цементным складом на строительстве шоссе Москва-Пекин (Дзержинск, Горьковской области), и многое другое.

Самой длительной, однако, оказалась служба в системе связи: монтажник кабельных линий связи (Тамбов, Мичуринск, Елец, Орел, Липецк, Смоленск, Литва, Белоруссия, от Гомеля до Полоцка через Могилев и пр. и пр.). Почти десять лет в системе связи.

А единственной работой, которая пришлась по сердцу, была в 1974 году в Голодной степи (Узбекистан, Янгиер) работа в качестве "лаборанта паразитологической экспедиции" и в Таджикистане в должности "лаборанта ВНИИДиС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом".

С 1966 года — отец. С 1988 года — дед (внучка Настасья Ерофеева).

Писать, по свидетельству матери, начал с пяти лет. Первым, заслуживающим внимания сочинением считаются "Заметки психопата" (1956-1958 гг.), начатые в 17-летнем возрасте. Самое объемное и самое нелепое из написанного. В 1962 году — "Благая весть", которую знатоки в столице расценили как вздорную попытку дать "Евангелие русского экзистенциализма" и "Ницше, наизнанку вывернутого".

В начале 60-х годов написано несколько статей о земляках-норвежцах (одна о Гамсуне, одна о Бьернсоне, две о поздних драмах Ибсена). Все были отвергнуты редакцией "Ученых записок Владимирского Государственного педагогического института", как "ужасающие в методологическом отношении". Осенью 1969 года добрался, наконец, до собственной манеры

письма и зимой 1970 года нахрапом создал "Москва-Петушки" (с 19 января до 6 марта 1970). В 1972 году за "Петушками" последовал "Дмитрий Шостакович", черновая рукопись которого была потеряна, однако, а все попытки восстановить ее не увенчались ничем.

В последующие годы все написанное складывалось в стол, в десятках тетрадей и толстых записных книжках. Если не считать написанного под давлением журнала "Вече" развязного эссе о Василии Розанове и кое-чего по мелочам.

Весной 1985 года появилась трагедия в пяти актах "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора". Начавшаяся летом этого же года болезнь (рак горла) надолго оттянула срок осуществления замысла двух других трагедий. Впервые в России "Москва-Петушки" в слишком сокращенном виде появились в журнале "Трезвость и культура" (№ 12 за 1988 год, №№ 1, 2 и 3 за 1989 год), затем в более полном виде -в альманахе "Весть" (издательство "Книжная палата") и, наконец, почти в каноническом виде — в этой книге (Москва-Петушки", Москва, Издательство "Прометей" МГПИ им. В. И. Ленина, 1989 г.), в чем, признаюсь, я до последней минуты сильно сомневался.

Москва – Петушки

* * *

Уведомление автора

Первое издание «Москва – Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получал с тех пор много нареканий за главу «Серп и Молот – Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и Молот – Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «И немедленно выпил» следуют полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «И немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу «Серп и Молот – Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «И немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и Молот – Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены.

В. Ер.

Вадиму Тихонову,
моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы

Москва. На пути к Курскому вокзалу

Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видел Кремля.

Вот и вчера опять не увидел, – а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декокта люди ничего лучшего еще не придумали.

Так. Стакан зубровки. А потом – на Каляевской – другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-дессерт.

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше – что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню – это я отчетливо помню – на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.

Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вчера – выйду сегодня.) И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик – и так и уснул). Нет, не потому мне обидно. Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть рублей, – а что и где я пил? и в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?

Что это за подъезд, я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают – все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, – все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.

«Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – ничего. Вон – аптека, видишь? А вон – этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо – иди направо».

Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! о, иллюзорность бедствия! о, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени, чего в ней больше: паралича или тошноты? истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбняка или лихорадки?

«Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево – попадешь на Курский вокзал; если прямо – все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть».

О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа – время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Веничка, иди.

Москва. Площадь Курского вокзала

Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо – обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты – вот и получай свою суету…

– Да брось ты, – отмахнулся я сам от себя, – разве суета мне твоя нужна? люди разве твои нужны? Вот ведь Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то говорил: «Что мне до тебя?»

А уж тем более мне – что мне до этих суетящихся и постылых?

Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило…

– *Конечно, Веничка, конечно,* – кто-то запел в высоте так тихо, так ласково-ласково, – *зажмурься, чтобы не так тошнило.*

О! Узнаю! Это опять они! Ангелы Господни! Это вы опять?

– *Ну, конечно, мы,* – и опять так ласково!..

– А знаете что, ангелы? – спросил я, тоже тихо-тихо.

– *Что?* – ответили ангелы.

– Тяжело мне…

– *Да мы знаем, что тяжело,* – пропели ангелы. – *А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут…*

– Красненького?

– *Красненького,* – нараспев повторили ангелы Господни.

– Холодненького?

– *Холодненького, конечно…*

О, как я стал взволнован!..

– Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется… Вы же сами знаете, каково в моем состоянии – ходить!..

Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:

– *А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. Может, там чего и есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..*

– Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду узнаю. Спасибо вам, ангелы.

И они так тихо-тихо пропели:

– *На здоровье, Веня…*

А потом так ласково-ласково:

– *Не стоит…*

Какие они милые!.. Ну что ж… Идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил, – не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил… А когда ты их вчера купил? вспомни… иди и вспоминай…

Я пошел через площадь – вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался – и застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть – больше того – есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался, и опять застывал.

– Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет. После охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго… Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандровой или между пивом и альб-де-дессертом?

Москва. Ресторан Курского вокзала

Нет, только не между пивом и альб-де-дессертом, там уж решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой – это очень может быть. Скорее даже так: орехи я купил до кориандровой, а уж конфеты – после. А может быть, и наоборот: выпив кориандровой, я…

– Спиртного ничего нет, – сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или как грязный лютик.

«Нет ничего спиртного!!!»

Я, хоть весь и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел? Может быть, мой экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского или

что-нибудь из «Цирюльника».

Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа.

Нет ничего спиртного! Царица небесная! Ведь если верить ангелам, здесь не переводился херес. А теперь – только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я потому легко их на слух различаю… Ну, конечно, Иван Козловский… «О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков… О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных…» Ну, конечно, Иван Козловский… «О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован… Не отверга-а-ай…»

– Будете чего-нибудь заказывать?

– А у вас чего – только музыка?

– Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя…

Опять подступила тошнота.

– А херес?

– А хересу нет.

– Интересно. Вымя есть, а хересу нет!

– Оччень интересно. Да. Хересу – нет. А вымя – есть.

И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой…

Хорошая люстра. Но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову – будет страшно больно… Да нет, наверно, даже и не больно: пока она срывается и летит, ты сидишь и, ничего не подозревая, пьешь, например, херес. А как она до тебя долетела – тебя уже нет в живых. Тяжелая это мысль:…ты сидишь, а на тебя сверху – люстра. Очень тяжелая мысль…

Да нет, почему тяжелая?.. Если ты, положим, пьешь херес, не такая уж тяжелая мысль, но если ты сидишь с перепою и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе еще на голову люстра – вот это уже тяжело… Очень гнетущая это мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою…

А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем сейчас 800 граммов хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и…

– Ну, как, надумали? Будете брать что-нибудь?

– Хересу, пожалуйста. 800 граммов.

– Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком: нет у нас хереса!

– Ну… я подожду… когда будет…

– Жди-жди… Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!

И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В особенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть…

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?! О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом – как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! – всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» – да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры…

– Кому здесь херес?!

Надо мной – две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них – о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности – я это понял по *ним*, по их глазам, потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие… Я весь как-то сник и растерял душу.

– Да ведь я… почти и не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подожду… я так…

– Это как то есть «так»!.. Чего это вы «подождете»!..

– Да пппочти ничего… Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девушке (ха-ха! «к любимой девушке»!) – гостинцев вот купил…

Они, палачи, ждали, что я еще скажу.

– Я ведь… из Сибири, я сирота… А просто чтобы не так тошнило… хересу хочу.

Зря это я опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал – о, боль такого позора! – через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами; тоже – вытолкнули.

Опять – на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!

Москва. К поезду через магазин

Что было потом – от ресторана до магазина и от магазина до поезда – человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы, – они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют.

Давайте лучше так – давайте почтим минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни – помни о них. В минуты блаженства и упоений – не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания.

Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почтим минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь завалящий гудок – нажмите на этот гудок.

Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волосы мои то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди – тоже, и смотрят так дико: думают, наверное, – изваять его вот так, в назидание народам древности, или не изваять?

И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся из ниоткуда.

«Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

А я продолжаю стоять.

«Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами: «Ведь ты из магазина, Веничка?»

– Да, – говорю я вам, – из магазина. – А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево.

– Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?

– Ну, это как сказать! – говорю я, склонив голову вправо. – Чемоданчик – точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано…

– Так что же, Веничка, что же ты все-таки купил? Нам страшно интересно…

– Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас вспомню. Да – розовое крепкое за рупь тридцать семь.

– Так-так-так, – говорите вы, – а общий итог? Ведь все это страшно интересно…

Сейчас я вам скажу общий итог.

– Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек, – говорю я, вступив на перрон. – Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь еще купил два бутерброда, чтобы не сблевать.

– Ты хотел сказать, Веничка: «чтобы не стошнило»?

– Нет. Что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить, может, и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так – вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

– Зачем? Опять стошнит?

– Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать – сблюю.

Вы все, конечно, на это качаете головами. Я даже вижу – отсюда, с мокрого перрона, – как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головами и беретесь иронизировать:

– Как это сложно, Веничка, как это тонко!

– Еще бы!

– Какая четкость мышления! И это – все? И это – все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым? И больше – ничего?

– Ну как, то есть, – ничего? – говорю я, входя в вагон. – Было б у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь…

Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.

– О-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!

Ну, так что же? Пусть примитив, говорю. И на этом перестаю с вами разговаривать. Пусть примитив! А на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. Пусть примитив!

А вы все пристаете:

– Ты чего, обиделся?

– Да нет, – отвечаю.

– Ты не обижайся. Мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?

Тут уж я совсем обижаюсь: да при чем тут водка?

«Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

В самом деле, при чем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить, кроме водки. Далась вам эта водка! Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там еще не было. И в подъезде, если помните, – тоже прижимал, а водкой там еще и не пахло!.. Если уж вы хотите все знать, – я вам все расскажу, погодите только. Вот только похмелюсь на Серпе и Молоте, и

Москва – Серп и Молот

и тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю!

Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться! Зато по вечерам – какие во мне бездны! – если, конечно, хорошо набраться за день, – какие бездны во мне по вечерам!

Но – пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий – он очень дурной, этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо – верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот – если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение – это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю как вам, а мне гадок.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады, – так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно – и утром, и вечером – тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченый подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а Елисеевский – тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны…

Итак, что же я имею?

Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутерброда до розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал – и вдруг затомился и поблек… Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю? Но разве *это* мне нужно? Разве по *этому* тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали *того*, разве нуждался бы я в *этом*? Смотри, Господь, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь…

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:

– А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

– Вот-вот! – отвечал я в восторге. – Вот и мне, и мне тоже – желанно мне это, но ничуть не нужно!

«Ну, раз желанно, Веничка, так и пей», – тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет?

Господь молчал.

Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух томился в заточении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господи!

Серп и Молот – Карачарово

И немедленно выпил.

Карачарово – Чухлинка

А выпив, – сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность – так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня.

И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова, мой Бог не мог расслышать мою мольбу, – выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молился.

И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары… Да.

Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела на меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами…

Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости… Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается:…глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза… Девальвация, коррупция, безработица, пауперизм… Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой – вот какие глаза в мире Чистогана…

Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса…

Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал?.. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило?

Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел – пусть. Может, я там что репетировал? Да… В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя – о, такое нашептал! – и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, – я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?

Вон – справа, у окошка – сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И пожалуйста – никого не стыдятся, наливают и пьют. Не

выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «А! Хорошо пошла, курва!» А умный-умный выпьет и говорит: «Транс-цен-ден-тально!» И таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусывает и говорит: «Заку-уска у нас сегодня – блеск! Закуска типа „я вас умоляю“!» А умный-умный жует и говорит: «Да-а-а… Транс-цен-ден-тально!..»

Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли – мавра или не мавра? плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти – пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром… «Закуска типа „я вас умоляю“!»… Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью – прячусь. Во время работы пью – прячусь… а эти!! «Транс-цен-ден-тально!»

Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность. Мое детство и отрочество… Скорее так: скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного – и сколько раз это губило меня…

Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн». Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво.

Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти четверо как-то отстраняют меня от себя, как-то шепчутся, на меня глядя, как-то смотрят за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже чуть тревожно… И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх… «В чем дело? – терзался я. – Отчего это так?»

И вот наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели: я выпил пива и затосковал. Просто: лежал и тосковал.

И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают – двое сели на стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну… Не иначе как что-то случилось…

– Послушай-ка, – сказали они, – ты это брось.

– Что «брось»? – я изумился и чуть привстал.

– Брось считать, что ты выше других… что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред…

– Да с чего вы взяли!..

– А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?

Чухлинка – Кусково

– Пил.

– Много пил?

– Много.

– Ну так вставай и иди.

– Да куда «иди»??

– Будто не знаешь! Получается так – мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред…

– Позвольте, – говорю, – я этого не утверждал…

– Нет, утверждал. Как ты поселился к нам – ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а *отсутствием* этого дела. Ты *негативно* это утверждаешь…

– Да какого «дела»? Каким «отсутствием»? – я уж от изумления совсем глаза распахнул…

– Да известно какого дела. До ветру ты не ходишь – вот что. Мы сразу почувствовали: что-то неладно. С тех пор как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну, ладно, по большой нужде еще ладно! Но ведь ни разу даже по малой… даже по малой!

И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленных.

– Нет, ребята, вы меня неправильно поняли.

– Нет, мы тебя правильно поняли…

– Да нет же, не поняли. Не могу же я, как вы: встать с постели, сказать во всеуслышание: «Ну, ребята, я срать пошел!» или «Ну, ребята, я ссать пошел!» Не могу же я так…

– Да почему же ты не можешь! Мы – можем, а ты – не можешь! Выходит, ты лучше нас! Мы грязные животные, а ты как лиле́я!..

– Да нет же… Как бы это вам объяснить…

– Нам нечего объяснять… нам все ясно.

– Да вы послушайте… поймите же… в этом мире есть вещи…

– Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет…

И я никак не мог их ни в чем убедить. Они угрюмыми взглядами пронзали мне душу… Я начал сдаваться…

– Ну, конечно, я тоже могу… я тоже мог бы…

– Вот-вот. Значит, ты можешь, как мы. А мы, как ты, – не можем. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами…

– Да нет, нет, – тут уж я совсем запутался. – В этом мире есть вещи… есть такие сферы… нельзя же так просто: встать и пойти. Потому что самоограничение, что ли?… есть такая заповеданность стыда, со времен Ивана Тургенева… и потом – клятва на Воробьевых горах… И после этого встать и сказать: «Ну, ребята…» Как-то оскорбительно… Ведь если у кого щепетильное сердце…

Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих.

– Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся. Сами читали. А ты лучше вот что скажи: ты пиво сегодня пил?

– Пил.

– Сколько кружек?

– Две больших и одну маленькую.

– Ну так вставай и иди. Чтобы мы все видели, что ты пошел. Не унижай нас и не мучь. Вставай и иди.

Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы их облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал: «С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным».

Да. И он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога, но для чего Он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не знаю. А это целомудрие – самое смешное! – это целомудрие толковалось так навыворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности…

Например, в Павлово-Посаде. Меня подводят к дамам и представляют так:

– А вот это тот самый, знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул…

– Как!! Ни разу!! – удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. – Ни разу!!

Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю:

– Ну, как то есть ни разу! Иногда… все-таки…

– Как!! – еще больше удивляются дамы. – Ерофеев – и… странно подумать!.. «Иногда все-таки!»

Я от этого окончательно теряюсь, я говорю примерно так:

– Ну… а что в этом такого, я же… это ведь – пукнуть – это ведь так ноуменально… Ничего в этом феноменального нет – в том, чтоб пукнуть…

– Вы только подумайте! – обалдевают дамы. А потом трезвонят по всей петушинской ветке:

«Он все это делает вслух и говорит, что это неплохо он делает! Что это он делает хорошо!»

Ну, вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар – кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет – «превратно» бы еще ничего! – но именно строго наоборот, то есть совершенно по-свински, то есть антиномично.

Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все – я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один-единственный случай, потому что он самый свежий: о том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирского поста за «внедрение порочной системы индивидуальных графиков». Все наше московское управление сотрясается от ужаса, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут ужасного, казалось бы!

Да! Где это мы сейчас едем?..

Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому случаю следовало бы мне еще

раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу,

Кусково – Новогиреево

а уж потом пойду и выпью.

Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад – назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что я вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены.

Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом – известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один – вермут пил, другой, кто попроще, – одеколон «Свежесть», а кто с претензией – пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: сначала садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом – что же? – потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг друга: «Лёха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» Вставали, доигрывали в сику. А потом – ни свет ни заря, ни «Свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А потом – каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой – пили вермут, на третий день – опять в сику, на четвертый – опять вермут. А тот, кто с интеллектом, – тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабан мы, конечно, и пальцем не трогали, – да если б я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «Свежесть».

И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия и до закрытия магазинов!

Отбросив стыд и дольние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге – в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодовольной усмешкою: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»

А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча, и неозаренные туманы, и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, – сказал, – вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? они прочли. Но вопреки всему, она на них сказалась удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «Свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт – и восторжествовала «Свежесть», все пили только «Свежесть».

О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона

одетые полевые лилии! – Они выпили всю «Свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!

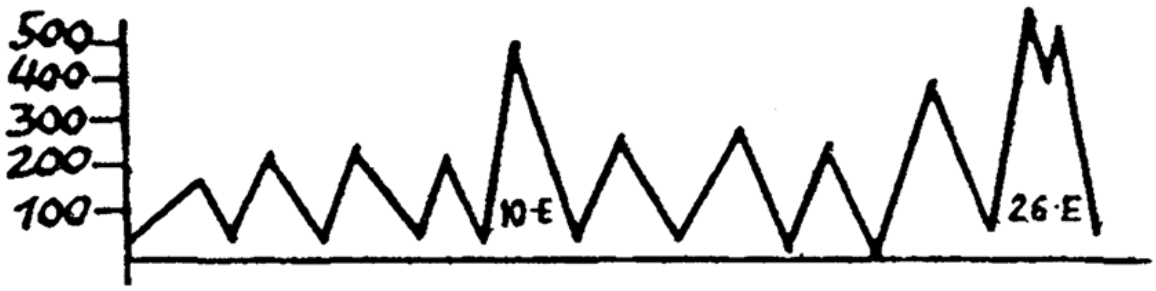
И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, «маленький принц». Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков – известна ли тебе? Если б была известна, тебе было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «Свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян, и Абба Эбан!..

И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня наконец и поперли…

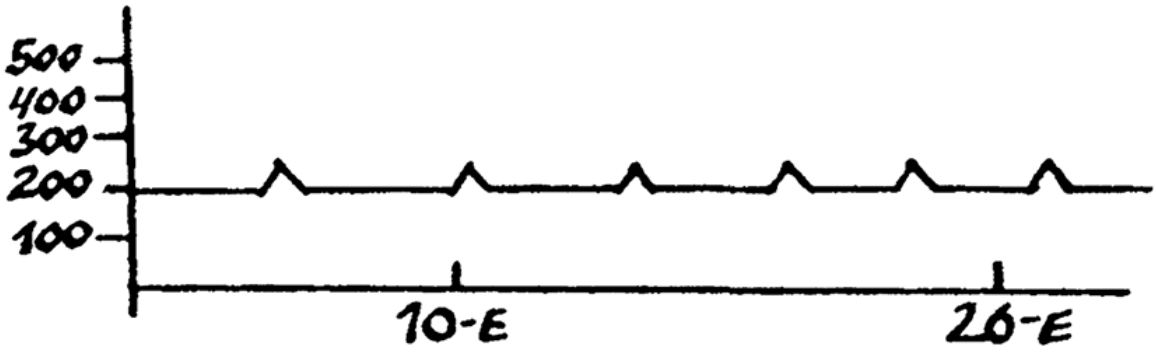
Новогиреево – Реутово

Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленевой бумаге, черной тушью, рисуются две оси – одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной – количество выпитых граммов, в перерасчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером – величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса.

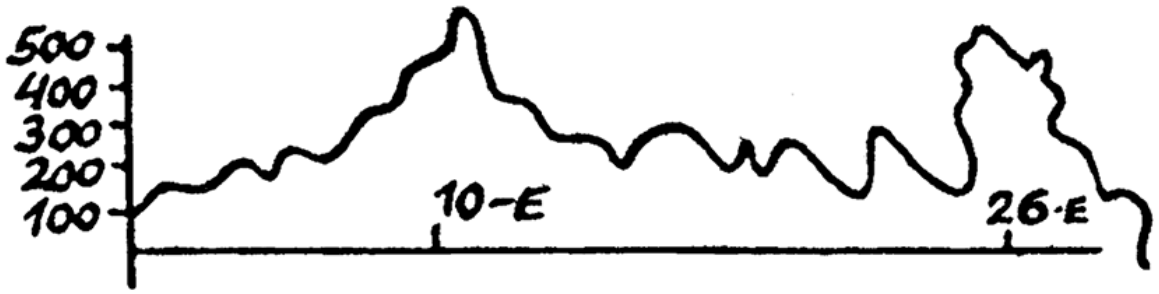
Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой – столько-то и того-то. А я, черной тушью и на веленевой бумаге, изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина:



А это Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., потрепанный старый хрен:



А вот уж это – ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа, автор поэмы «Москва – Петушки»:



Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда – интересные? У одного – Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого – предрассветный бриз на реке Кама, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего – биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это – если видеть только внешнюю форму линии.

А тому, кто пытлив (ну вот мне, например), эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал: в один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось: эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве, – и, сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.

Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже – получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на «москвиче» в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика: Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось – ровно через тридцать дней после Вознесения. Один только месяц – от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, а на место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС с 1936 г. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь – они ему рупь не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил рупь – они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой «москвич» и уехали обратно.

И вот – я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы – по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорастом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – не такой.

Как бы то ни было – меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня – снизу – сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху – лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты, а ближайший аванс – послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

– *Фффу!*

– Кто сказал *«фффу»?* Это вы, ангелы, сказали *«фффу»?*

– *Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!!*

– Да как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтоб очень просыхал, но, во всяком случае, я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомнить… У меня всё полосами, всё в жизни как-то полосами: то не пью неделю подряд, то пью

потом сорок дней, потом опять четыре дня не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха… Вот и теперь…

– *Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце…*

Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? Он брюзжал и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука; а выпей четыреста грамм и завязывай». «Никаких грамм! – отчеканивал рассудок. – Если уж без этого нельзя, поди и выпей три кружки пива; а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь». А сердце заныло: «Ну хоть двести грамм. Ну…

Реутово – Никольское

ну хоть сто пятьдесят…» И тогда рассудок: «Ну, хорошо, Веня, – сказал, – хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома…»

Что же вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках – твое спасение и радость твоя, поезжай».

«Петушки – это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех – может, он и был – там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен…»

«Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета – белого, переходящего в белесый, – эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше чем через два часа будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной – о, вы такое увидите!..»

«Да и что я оставил – там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы – вот что оставил! А что впереди? что в Петушках на перроне? – а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона – зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!»

«А там, за Петушками, где сливаются небо и земля и волчица воет на звезды, – там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву «ю» и за это ждет от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома буква «ю»? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он – знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов».

«Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока – вы уж простите меня – пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва».

И вот – я снова встал и через половину вагона прошел на площадку.

И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть.

Никольское – Салтыковская

– Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков, – подумал я, делая тринадцатый глоток.

– Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, – омрачает душу, пусть ненадолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, – но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать?

– Ну пусть. Пусть светел твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?

– Что ж они думают? Что меня там никто не встретит? или поезд повалится под откос? или в Купавне высадят контролеры, или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?

– Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.

– И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, если у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Совесть и вкус – это уже так много, что мозги становятся прямо излишними.

– А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?

– А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен – он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.

– И сказать почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это расходую все (все без остатка) и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен… Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, – мне бесконечно посторонне. Да. А о том, что меня занимает, – об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может, еще отчего, но все-таки – ни слова.

– Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: «Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!» А мне удивлялись и говорили: «Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?» А я говорил: «О, не знаю, не знаю! Но есть».

– Я не утверждаю, что мне – теперь – истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.

– И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво – сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем «скорби» и «страха». Назовем хоть так. Вот: «скорби» и «страха» больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, «мое прекрасное сердце» источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! – хоть это-то поймите.

– Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что «мировая скорбь» – не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?

– К примеру: вы видели «Неутешное горе» Крамского? Ну конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в эту минуту на пол что-нибудь такое – ну, фиал из севрского фарфора, – или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немыслимой цены, – что ж она? стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор, потому что на день или на три, но теперь она «выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра»!

– Ну, так как же? Скушна эта княгиня? – Она невозможно скушна и еще бы не была скушна! Она легкомысленна? – В высшей степени легкомысленна!

– Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?

– Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание – весь этот остаток кубанской, из горлышка, и немедленно выпьем.

– Смотрите, как это делается!..

Салтыковская – Кучино

Остаток кубанской еще вздымался совсем недалеко от горла, и поэтому, когда мне сказали с небес:

– Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много…

Я от удушья едва сумел им ответить:

– Во всей земле… во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков, – нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим… И чего вам бояться за меня, небесные ангелы?

– Мы боимся, что ты опять…

– Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы… Я с каждой минутой все счастливей… и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо… как в стихах у германских поэтов: «Я покажу вам радугу!» или «Идите к жемчугам!» и не больше того… какие вы глупые-глупые!..

– Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь…

– До чего не доеду?!.. До них, до Петушков, – не доеду? До нее не доеду? – до моей бесстыжей царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы…

*– Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до **него** не доедешь и он останется без орехов…*

– Ну что вы, что вы! Пока я жив… что вы! В прошлую пятницу – верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать… Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся, круглый, как небо и земля… Но сегодня – доеду, если только не подохну, убитый роком… Вернее – нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней, я буду до утра пастись между лилиями, а вот уж завтра!..

– Бедный мальчик… – вздохнули ангелы.

– «Бедный мальчик»? Почему это «бедный»? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?

– О нет, до самых Петушков мы не можем… Мы отлетим, как только ты улыбнешься… Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся, как только улыбнешься в первый раз – мы отлетим… и уже будем покойны за тебя…

– И там, на перроне, встретите меня, да?

– Да, там мы тебя встретим…

Прелестные существа, эти ангелы! Только почему это «бедный мальчик»? Он нисколько не бедный! Младенец, знающий букву «ю», как свои пять пальцев, младенец, любящий отца, как самого себя, – разве нуждается в жалости?

Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу и все там были за него в тревоге… Но ведь он тут же пошел на поправку – как только меня увидел!.. Да, да… Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и никогда ничего не случалось!..

Сделай так, Господи, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза – пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господи. Если мать его затопит печку – он очень любит, когда его мать затопляет печку, – оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется… А если и заболеет, – пусть как только меня увидит, пусть сразу идет на поправку…

Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали: он спит. Мне сказали: он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кроватки, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щеке вся была в жару, и было диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть жар…

Я выпил три стакана лимонной, прежде чем он проснулся и посмотрел на меня и на

четвертый стакан, у меня в руке… Я долго тогда беседовал с ним и говорил:

– Ты… знаешь что, мальчик? ты не умирай… ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь подумать сам): очень глупо умереть, зная только одну букву «ю» и ничего больше не зная… Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?

– Понимаю, отец…

И как он это сказал! И все, что они говорят – вечно живущие ангелы и умирающие дети, – все так значительно, что я слова их пишу длинными курсивами, а все, что мы говорим, – махонькими буковками, потому что это более или менее чепуха. «Понимаю, отец!»…

– Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою «поросячью фарандолу» – помнишь? Когда тебе было два года, ты под нее плясал. Музыка отца и слова его же. «Та-та-ки-е милые, смешные чер-те-нят-ки цапали-царапали-кусали мне жи-во-тик…» А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак… «С фе-вра-ля я хныкала и вякала, на исходе августа ножки протянула…» Ты любишь отца, мальчик?

- Очень люблю ... - Ну вот и не умирай... Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова чего-нибудь спляшешь... Только нет, мы фарандэлу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу... "На исхо-де ав-густа ножки протянула..." Это не годится. Гораздо лучше вот что: "Раз-два-туфли-одень-ка-как-те-бе-не-стыдно-спать?"... У меня особые причины любить эту гнусность...

Я допил свой четвертый стакан и разволновался: - Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок... Ты понимаешь?.. ты бегал в лесу этим летом, да?.. И, наверное, помнишь, какие там сосны?.. Вот и я, как сосна... Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая-одинокая, вот и я тоже... Она, как я, - смотрит только в небо, а что у нее под ногами - не видит и видеть не хочет... Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я - пока не рухну, вечно буду зеленым...

- Зеленым, - отозвался младенец. - Ну вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра, и грустно на него глядеть... Вот и я: разве я не облетаю? разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю, да облетаю?..

- Противно, - повторил за мной младенец и блаженно заулыбался... Вот и я теперь: вспоминаю его "П р о т и в н о" и улыбаюсь, тоже блаженно. И вижу: мне издали кивают ангелы - и отлетают от меня, как обещали.

Кучино - Железнодорожная.

Но сначала все-таки к ней. Сначала - к ней! Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться в лежку, и пастись, пастись между лилиями - ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!

Принеси запястья, ожерелья, Шелк и бархат, жемчуг и

алмазы, Я хочу одеться королевой, Потому что мой король вернулся!

Эта девушка вовсе не девушка! Эта искусительница - не девушка, а баллада ля бемоль мажор! Эта женщина, эта рыжая стервоза - не женщина, а волхование! Вы спросите: да где ты, Веничка, ее откопал, и откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?

- Может! - говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва и Петушки.

- В Москве - нет, в Москве не может быть, а в Петушках - может!" Ну так что же, что "сука"? Зато какая гармоническая сука! А если вам интересно, где и как я ее откопал, если интересно - слушайте, бесстыдники, я вам все расскажу.

В Петушках, как я уже вам говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день, ровно двенадцать недель тому назад, были птички и был жасмин. А еще был день рождения непонятно у кого. И еще - была бездна всякого спиртного: не то десять бутылок, не то двенадцать бутылок, не то двадцать пять. И было все, чего может пожелать человек, выпивший столько спиртного: то-есть решительно все, от разливного пива до бутылочного. А еще? - спросите вы - а еще что было?

- А еще - было два мужичка, и были три косеющих твари, одна пьянее другой, и дым коромыслом, и азинея. Больше как будто ничего не было.

И я разбавлял и пил, разбавлял российскую жигулевским пивом и глядел на этих "троих" и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу сказать, а поэтому разбавлял и пил, и чем больше я прозревал в них это "что-то", тем чаще я разбавлял и пил, и от этого еще острее

прозревал.

Но вот ответное прозрение - я только в одной из них ощутил, только в одной! О рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельма! О, эта белизна, переходящая в белесость! О колдовские и голубинные крылья!

- Так это вы, Ерофеев? - и чуть подалась ко мне, и сомкнула ресницы и разомкнула...

- Ну, конечно! Еще бы не я! (О, гармоническая! как она догадалась?)

- Я одну вашу вещицу - читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!

- Так ли уж выше! - я, польщенный, разбавил и выпил. - Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!..

от - с этого все началось. То есть началось беспамятство: три часа провала. Что я пил? О чем говорил? В какой пропорции разбавлял? Может, этого провала и не было бы, если б я пил, не разбавляя. Но - как бы то ни было - я очнулся часа через три, и вот в каком положении я очнулся: я сижу за столом, разбавляю и пью.

И кроме нас двоих - никого. И она - рядом, смеется надо мною, как благодатное дитя. Я подумал: "Неслыханная! Это - женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это - женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд и в душе и повсюду!"

А она взяла - и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, все, что в ней было святого - все выдохнула. А потом изогнулась как падла и начала волнообразные движения бедрами, - и все это с такою пластикою, что я не мог глядеть на нее без содрагания...

Вы конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите: "Так, что же, Веничка? Она.....?" Ну что вам ответить? Ну, конечно, она..... .....! Еще бы она не..... .....! Она мне прямо сказала: "Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правою рукою!" Ха-ха. "Властно" и "правою рукою"?! - а я уже так набрался, что не только властно обнять, а хочу потрогать ее туловище - и не могу, все промахиваюсь мимо туловища...

- Что ж! играй крутыми боками! - подумал я, разбавив и выпив. - Играй, обольстительница! Играй, Клеопатра! Играй, пышнотелая блядь, истомившая сердце поэта! Все, что есть у меня, все, что, может быть, есть - все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!

Так думал я. А она - смеялась. А она - подошла к столу и выпила, залпом, еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела...

Железнодорожная - Черная.

выпила - и сбросила с себя что-то лишнее. "Если она сбросит, - подумал я, если она, следом за этим лишним, сбросит и исподнее - содрогнется земля и камни возопиют".

А она - смеялась. А она - подошла к столу и выпила, залпом, еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела...

Железнодорожная - Черная.

выпила - и сбросила с себя что-то лишнее. "Если она сбросит, - подумал я, если она, следом за этим лишним, сбросит и исподнее - содрогнется земля и камни возопиют".

А она сказала: "Ну, как, Веничка, хорошо у меня..... .....? А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я сказал ей: "Ровно тридцать лет я живу на свете... но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо.....!"

Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво-нежным? Быть ли мне пленительно-грубым? Черт его знает, я никогда не понимаю толком, в какое мгновенье как обратиться с захмелевшей... До этого - сказать ли вам? - до этого я их плохо знал, и захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью, но как только устремлялся - сердце останавливалось в испуге. Помыслы - были, но не было намерений. Когда же являлись намерения - помыслы исчезали, и хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль.

Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас нет никакой талии, это будило во мне - как бы это назвать? "негу", что ли? - Ну да, это будило во мне негу. Но, с другой стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был Неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как

Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то-есть, вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки, это мне нравилось, это наполняло меня - ну, чем это меня наполняло? негой, что ли? - ну да, это наполняло меня негой. Но, с другой стороны, ведь они в И..... из нагана стреляли? Это снова убивало негу: приседать приседай, но зачем в И..... из нагана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге... Но я отвлекся.

Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным?

Она сама - сама сделала за меня мой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею лодыжкою. В этом было что-то от поощрения и от игры, и от легкой пощечины. И от воздушного поцелуя - тоже что-то было. И потом - эта мутная, эта сучья белизна в зрачках, белее, чем бред и седьмое небо! И как небо и земля - живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения, я весь задымился; и весь задрожал. и Все смешалось: и розы, и лилии, и в мелких завитках - весь - влажный и содрогающийся вход в Эдем и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие бельмы! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп!

Все смешалось, чтобы только начаться, чтобы каждую пятницу повторятся снова и не выходить из сердца и головы. И знаю: и сегодня будет то же, тот же хмель и то же душегубство...

Вы мне скажете: так что же ты, Веничка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб?

А какое мне дело! А вам - тем более! Пусть даже и не верна. Старость и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины. Пусть и не верна, не совсем, конечно, "пусть", но все-таки пусть. Зато она вся соткана из неги и ароматов. Ее не лапать и не бить - ее вдыхать надо. Я как-то попробовал сосчитать все ее сокровенные изгибы, и не мог сосчитать- дошел до двадцати семи и так забалдел от истомы, что выпил зубровки и бросил счет, не окончив.

Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности, когда она поводит ими и восторженно смеется, и говорит: "Эх, Ерофеев, мудила ты грешный!" О, дьяволица! Разве можно такую не вдыхать?

Случалось, конечно, случалось, что и она была ядовитой, но это все вздор, все это в целях самообороны и чего-то там такого женского - я в этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца, яду совсем не оказалось, там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал:

- Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобно, я облеку тебя в пурпур и крученый виссом, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь - лилии, допустим, будешь обонять.

Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца, яду совсем не оказалось, там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал:

- Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобно, я облеку тебя в пурпур и крученый виссом, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь - лилии, допустим, будешь обонять. Поедем!

А она - молча протянула мне шиш. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, вздохнул и заплакал:

- Но почему?.. почему?.. Она мне - второй шиш. Я и его поднес, и зажмурился, и снова заплакал:

- Но почему? - заклинаю - ответь - почему??? Вот тогда-то и она разрыдалась, и обвисла на шее: - Умалишенный! ты ведь сам знаешь, почему! сам - знаешь, почему, угорелый! И после того - почти каждую пятницу повторялось все то же: и эти слезы, и эти фиги. Но сегодня - сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница - тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам, Царица Небесная!..

Черное - Купавна.

Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил, курил... - И ты говоришь после этого, что ты одинок и непонят? Ты, у которого столько в душе и столько за душой! Ты, у которого такая в Петушках! И такой за Петушками!.. Одинок?..

- Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже двенадцать недель как понят. Все минувшее миновалось. Вот, помню, когда мне стукнуло двадцать лет, - тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли

мне бутылку столичной и банку овощных голубцов, - и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной - что, не желая плакать, заплакал...

А когда стукнуло тридцать, минувшей осенью? А когда стукнуло тридцать, - день был уныл, как день двадцатилетия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессою, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И принесли мне - что принесли? - две бутылки столичной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов, что хотел я заплакать - и уже не мог...

Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? И ожесточился сердцем? Тоже - не значит. Скорее даже наоборот; но заплакать все-таки не заплакал...

Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь анологию в мире прекрасного. Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот? - будет ли он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не было: он уже пьян, как свинья, от того и тих.

Точно так же и я: не менее одиноким я стал в эти тридцать лет, и сердцем не очерствел, - совсем наоборот. А если смотреть со стороны - конечно...

Нет, вот уж теперь - жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. "Человек смертен" - таково мое мнение. Но уж если мы родились - ничего не поделаешь, надо немножко пожить... "Жизнь прекрасна" - таково мое мнение.

Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследованного, и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! Ну вот, самый простой пример:

отчего это, если ты вчера выпил, положим, семьсот пятьдесят, а утром не было случая похмелиться - служба и все такое - и только далеко за полдень, промаявшись шесть часов или семь, ты выпил, наконец, чтобы облегчить душу (ну, сколько выпил? Ну, допустим, сто пятьдесят) - отчего твоей душе не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих ста пятидесяти сменяется дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой, щеки делаются пунцовыми, как у бляди, а под глазами так сине, как будто накануне ты и не пил свои семьсот пятьдесят, а как будто тебя накануне, взамен того, весь вечер лупили по морде? Почему?

Я вам скажу, почему.

Потому что человек этот стал жертвою своих шести или семи служебных часов. Надо уметь выбирать себе работу, плохих работ нет. Дурных профессий нет, надо уважать всякое призвание. Надо, чуть проснувшись, немедленно чего-нибудь выпить, даже нет, вру, не "чего-нибудь", а именно того самого, что ты пил вчера, и пить с паузами в сорок - сорок пять минут, так, чтобы к вечеру ты выпил на двести пятьдесят больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости, и сам ты будешь таким белолицым, как будто тебя уже полгода по морде не били.

Вот видите - сколько в природе загадок, роковых и радостных, сколько белых пятен повсюду!

А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, словно бы и не замечает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь, есть ли у них у всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе? Я в их годы делал так: вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша - выпивал и ложился спать, не раздеваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу или не проснусь?

И все-таки утром в пятницу я не просыпался. А просыпался утром в субботу, и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги, в районе Наро-Фоминска. А потом - потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив, сопоставлял. А, сопоставив, начинал опять восстанавливать, напряжением памяти и со всепроникающим анализом. А потом переходил от созерцания к абстракции; другими словам, вдумчиво опохмелялся и, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась пятница.

Сызмальства почти, от младых ногтей, любимым словом моим было "дерзание", и - Бог свидетель - как я дерзал! Если вы так дерзнете - вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет:

если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли бы и не проснулись. А я просыпался, каждое утро почти просыпался и снова начинал дерзать...

Например, так: к восемнадцати годам или около того я заметил, что с первой дозы по пятую включительно я мужаю, то есть мужаю неодолимо, а вот уж начиная с шестой

Купавна - 33-й километр.

и включительно по девятую - размягчаюсь. Настолько размягчаюсь, что от десятой смежаю глаза, так же неодолимо. И что же я по наивности думал? Я думал: надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и выпить одиннадцатую дозу - тогда, может быть, начнется рецидив возмужания? Но нет, не тут-то было. Никаких рецидивов, я пробовал.

Я бился над этой загадкой три года подряд, ежедневно бился, и все-таки ежедневно после десятой засыпал.

А ведь все раскрылось так просто: оказывается, если вы уже выпили пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую выпить сразу, одним махом - но выпить идеально, то есть выпить только в воображении. Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом - не выпить ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой.

А выдержав паузу, приступить непосредственно к десятой, и точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжака, фактически девятую, условно называют пятой, точно так же и вы: условно назовите десятой свою шестую и будьте уверены: теперь вы уже будете беспрепятственно мужать и мужать, от самой шестой (десятой) и до самой двадцать восьмой (тридцать второй) - то есть мужать до того предела, за которым следует безумие и свинство.

Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собою целый груз святынь. Боже упаси! - святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было не наплевать, а вот им - на все наплевать.

Почему бы им не заняться вот чем: я в их годы пил с большими антрактами - попью-попью - перестану, попью-попью - опять перестану. Я не вправе судить потому, одушевленнее ли утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой, то есть если в шестнадцать лет пить по четыреста пятьдесят грамм в семь часов пополудни.

Я не вправе судить потому, одушевленнее ли утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой, то есть если в шестнадцать лет пить по четыреста пятьдесят грамм в семь часов пополудни. Конечно, если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы, - но ведь они-то! Они!..

Да только ли это! А сколько неизвестности таят в себе другие сферы человеческой жизни! Вот представьте себе, к примеру: один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку, и ничего больше; а на другой день - исключительно красные вина. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой пламеный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. И, ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку.

А если вы с утра до ночи пили только крепленные красные вина? Да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете, не то что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное!..

Да, да! А сколько захватывающего сулят эксперименты в узко специальных областях! Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики! Давайте лучше займитесь икотой, то есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте...

- Помилуйте! - кричат мне со всех сторон. - Да неужели же на свете кроме этого, нет ничего такого, что могло бы...!

- Вот именно: нет! - кричу я во все стороны. - Нет ничего, кроме этого! Нет ничего такого, что могло бы! Я не дурак, я понимаю, есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так!

Но ведь все это - не наше, все это нам навязали Петр Великий и Дмитрий Кибальчич, а ведь наше призвание совсем не здесь, наше призвание совсем в другой стороне! В этой самой стороне, куда я вас приведу, если вы не станете упираться! Вы скажете: "Призвание это гнусно и ложно". А

я вам скажу, я вам снова повторяю: "Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание".

И тьфу на вас, наконец! Лучше оствьте янкам внегалактическую астрономию, а немцам - психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идут на свою корриду глядеть, пусть подлец-африканец строит свою Асуанскую плотину, пусть строит, подлец, все равно ее ветром сдует, пусть подавится Италия своим дурацким бель-канто, пусть!..

А мы, повторяю, займемся икотой.

33-й километр - Электроугли.

Для того, чтобы начать ее исследование, надо, разумеется, ее вызвать: или ан зихь (термин Эммануила Канта), то есть вызвать ее в себе самом, - или же вызвать ее в другом, но в собственных интересах, то есть фюр зихь. Термин Эммануила Канта. Лучше всего, конечно, и ан зихь, и фюр зихь, а именно вот как: два часа подряд пейте что-нибудь крепкое, старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса по стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самой неприхотливой: не очень свежий хлеб, кильку пряного посола, кильку простого посола, кильку в томате.

А потом - сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте, ничего не пейте; расслабьте мышцы и не напрягайтесь.

И вы убедитесь сами: к исходу этого хаоса она начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит внезапность ее начала; потом вас удивит неотвратимость второго раза, третьего раза эт цетера. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом: записывайте на бумаге, в каких интервалах ваша икота удостаивает вас быть - в секундах, конечно:

восемь - тринадцать - семь - три - восемнадцать. Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность хоть самую приблизительную, попробуйте, если вы все-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу,чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала.

Пожалуйста. Жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи настроения:

-семнадцать - три - четыре - семнадцать - один - двадцать - три - четыре - семь - семь - семь - восемнадцать.

Говорят, вожди мирового пролетариата, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, тщательно изучили схему общественных формаций и на этом основании сумели многое предвидеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое. Вы вступили, по собственной прихоти, в сферу фатального - смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную и вашу высшую математику:

- тринадцать - пятнадцать - четыре - двенадцать - четыре - пять - двадцать - восемь.

Не так ли в смене подъемов и падений, восторгов и бед каждого отдельного человека, - нет ни малейшего намека на регулярность? Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон - он выше всех нас. Икота - выше всякого закона. И как поразила нас недавно внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите:

- двадцать две - четырнадцать - все. И тишина. И в этой тишине ваше сердце вам говорит: она не исследима, а мы - беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого - тоже нет.

Мы - дрожащие твари, а она - всесильна. Она, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и пред которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а следовательно, Он есть.

Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

Электроугли - 43-й километр.

Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать: верящий в преодоление и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он благ, и сам я поэтому благ и светел.

Он благ. Он ведет меня от страданий - к свету. От Москвы - к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне - к свету и Петушкам. Дурх

ляйден - лихт!

Я заходил по площадке в еще более страшном волнении. И все курил, и все курил. И тут - яркая мысль, как молния, поразила мой мозг:

- Что мне выпить еще, чтобы и этого порыва - не угасить? Что мне выпить во Имя Твое?..

Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы Тебя достойно. Кубанская это такое дерьмо! А российская - смешно при Тебе и говорить о российской. И розовое крепкое за рупь тридцать семь! Боже!..

Нет, если я сегодня доберусь до Петушков - невредимый - я создам коктейль, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей, в присутствии людей и во имя Бога. Я назову его "Иорданские струны" или "Звезда Вифлеема". Если в Петушках я об этом забуду - напомните мне, пожалуйста.

Не смейтесь. У меня богатый опыт в создании коктейлей. От Москвы до Петушков пьют эти коктейли до сих пор, не зная имени автора, пьют "Ханаанский бальзам", пьют "Слезу комсомолки" и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты: я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте.

Пить просто водку, даже из горлышка, - в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном - в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан "Ханаанского бальзама" - в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.

Какой компонент "Ханаанского бальзама" мы ценим превыше всего? Ну, конечно, денатурат. Но ведь денатурат, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же, в таком случае, мы ценим в денатурате превыше всего? Ну, конечно: голое вкусовое ощущение. А еще превыше тот миазм, который он источает.

А еще превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции 1:2:1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор, и очищенную политуру.

Не буду вам напоминать, как очищается политура, это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает отчего умер Пушкин, - а как очищается политура - это всякий знает.

Короче, записывайте рецепт "Ханаанского бальзама". Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:

Денатурат - 100 г

Бархатное пиво - 200 г

Политура очищенная - 100 г

Итак, перед вами "Ханаанский бальзам" (его в просторечьи называют "черно-буркой") - жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это уже даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..

А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить "Ханаанский бальзам", а, во-вторых, пить, взамен его, коктейль "Дух Женевы",

В нем нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: в чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в том разгадка, что "Белую сирень", составную часть "Духа Женевы", не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. "В мире компонентов нет эквивалентов", как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть "Ландыш серебристый" - это вам не "Белая сирень", даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах.

"Ландыш", например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А "Белая сирень" - напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни...

У меня было так: я выпил целый флакон "Серебристого ландыша", сижу и плачу. Почему я плачу? - потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. "Мама", - говорю. И плачу. А потом опять: "Мама", говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я? Взял флакон "Сирени" - и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму так даже и забыл, как звать по имени-отчеству.

И как мне смешон поэтому тот, кто, приготовляя "Дух Женевы", в средство от потливости ног добавляет "Ландыш серебристый"!

Слушайте точный рецепт:

Средство от потливости ног - 50 г

Пиво жигулевское - 200 г

Лак спиртовой - 150 г

Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и "Ханаанский бальзам", и "Дух Женевы". А лучше пусть он сядет за стол и приготовит себе "Слезу комсомолки". Пахуч и странен этот коктейль. Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он странен.

Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, теряет разом и то, и другое. А в случае со "Слезой комсомолки" просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, - память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм - и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? и куда девалась вся твердая память?

Даже сам рецепт "Слезы" благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, - лишился.

Лаванда - 15 г

Вербена - 15 г

Лесная вода - 30 г

Лак для ногтей - 2 г

Зубной эликсир - 150 г

Лимонад - 150 г

Приготовляемую таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой.

Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек - но вы меня не заставите помешивать повиликой "Слезу комсомолки", я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают "Слезу" не жимолостью, а повиликой...

Но о "Слезе" довольно. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. "Венец трудов превыше всех наград", как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль "Сучий потрох", напиток, затмевающий все. Это уже не напиток - это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? - борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте):

Пиво жигулевское - 100 г

Шампунь "Садко - богатый гость" - 30 г

Резоль для очистки волос от перхоти - 70 г

Средство от потливости ног - 30 г

Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых - 20 г

Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов - подается к столу...

Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что: полученный таким образом настой еще откидывть на дуршлаг. То есть - на дуршлаг откинуть и спать ложиться... Это уже черт знает что такое, и все эти дополнения и поправки - от дряблости воображения, от недостатков полета мысли; вот откуда эти нелепые поправки...

Итак, "Сучий потрох" подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолко одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.

43-й километр - Храпуново.

Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну вот, пока и довольно с вас... А в Петушках - в Петушках я обещаю поделиться с вами секретом "Иорданских струй", если доберусь живым; если милостив Бог.

А теперь давайте подумаем с вами вместе: что бы мне сейчас выпить? Какую комбинацию я могу создать из этой вшивости, что осталась в моем чемоданчике? "Поцелуй тети Клавы"? Пожалуй, что да. Из моего чемоданчика никаких других "Поцелуев" не выжмешь, кроме "Первого поцелуя" и "Поцелуя тети Клавы". Объяснить вам, что значит "Поцелуй"? А "Поцелуй" значит: смешанное в пропорции пополам-напополам любое красное вино с любою водкою. Допустим:

сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанская - это "Первый поцелуй". Смесь самогона с 33-м портвейном - это "Поцелуй, насильно данный", или, проще, "Поцелуй без любви", или, проще, "Инесса Арманд". Да мало ли разных "Поцелуев"! Чтобы не так тошнило от всех этих "Поцелуев", к ним надо привыкнуть с детства.

У меня в чемоданчике есть кубанская. Но нет сухого виноградного вина. Значит, и "Первый поцелуй" исключен для меня, я могу только грезить о нем. Но - у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской и розовое крепкое за рупь тридцать семь. А их совокупность и дает нам "Поцелуй тети Клавы". Согласен с вами: он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка, - согласен, но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходиться пить "Поцелуй тети Клавы"...

Я пошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в "Поцелуй". О, как давно я здесь не был! С тех пор, как вышел в Никольском...

На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит - глядела мне в глаза моя родина, выползавшая из орбит, на все готовая и большая. Тогда, после ста пятидесяти грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после пятисот кубанской, я был влюблен в эти глаза, влюблен, как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон - но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь...

Подошел - и остолбенел.

Подошел - и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Где та самая четвертинка, которую я у Серпа и Молота только ополовинил? От самого Серпа и Молота она стояла у чемоданчика, в ней оставалось почти сто грамм - где же она теперь?

Я обвел глазами всех - ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумен. Когда отлетели ангелы? Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался, - когда они от меня отлетели? В районе Кучино? Так. Значит, украли между Кучино и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, - меня тем временем лишили "Поцелуя тети Клавы"... В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон все это время, - прямо комедия... Но теперь - "довольно простоты", как сказал драматург Островский. И - финита ля комедиа. Не всякая простота - святая. И не всякая комедия - божественная... Довольно в мутной воде рыбку ловить, - пора ловить человеков!..

Но как ловить и кого ловить?.. Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков... От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева... Теперь начинается детективная повесть... Я заглянул внутрь чемоданчика: все ли там на месте? Там все было на месте. Но где же эти сто грамм? и кого ловить?..

Я взглянул направо: там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будит его. И как-то по-живодерски будит: берет его за пуговицу и доотказа подтаскивает к себе, как бы натягивая тетиву, - а потом отпускает: и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спинку лавочки, как в сердце тупая стрела Амура...

"Транс-цен-ден-тально..." - подумал я. - И давно это он его так?.. Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит, - значит, оба, в принципе, могли украсть. Но ведь один - то спит, а другой в коверкотовом пальто, - значит, ни тот, ни другой украсть не могли...

Я глянул назад - нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль: двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое: он и она. Они сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон, и явно незнакомы друг с другом. Но при всем том - до странности похожи: он в жакетке, и она - в жакетке; он в коричневом берете и при усах, и она - при усах и в коричневом берете...

Я протер глаза и еще раз посмотрел назад... Удивительная похожесть, и оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом игневом... Ясное дело, они не могли украсть.

А впереди? Я глянул вперед. А впереди то же самое - странных только двое, дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка - на две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются...

"Подозрительно", - подумал я. Отчего бы это им обизываться? Все ведь тоже глядят мне в глаза, но ведь никто не облизывается! Очень подозрительно... Я стал рассматривать их так же пристально, как они меня.

Нет, внучек - совершенный кретин. У него и шея-то не как у всех, у него шея не врастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически: вначале у него выдох, а потом вдох, тогда как у всех людей наоборот: сначала вдох, а уж потом выдох. И смотрит на меня , смотрит, разинув глаза и сощурив рот...

А дедушка - тот смотрит еще напряженнее, смотрит, как в дуло орудия. И такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво. И вся физиономия в оспинах, как расстрелянная в упор. А посередине расстрелянной физии - распухший и посиневший нос, висит и качается, как старый удавленник...

"Ооччччччень подозрительно", - подумал я еще раз.

"Ооччччччень подозрительно", - подумал я еще раз. И, привстав на месте, поманил их пальцем к себе.

Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. "Это тоже подозрительно, - подумал я, - они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил..."

Я пригласил их сесть напротив себя. Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно: избоченясь, на левое ребро, и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую дедушке.

- Как звать тебя, папаша, и куда ты едешь?..

Храпуново - Есино.

- Митричем меня звать. А это мой внучек, он тоже Митрич... Едем в Орехово, в парк... в карусели покататься...

А внучек добавил: -И-и-и-и-и... Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот его был всегда сощурен и начинался откуда-то сзади. А говорил он левой ноздрей, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподнимал правой: "И-и-и-и-и-и-и, как мы быстро едем в Петушки, славные Петушки..." "И-и-и-и-и, какой пьяный дедушка, хороший дедушка..."

- Тта-а-ак. Значит, говоришь, в карусели?.. - В карусели. - А может, все-таки, не в карусели?.. - В карусели, - еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла...

- А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? пока я в тамбуре был погружен в свои мысли? в свои мысли о своем чувстве? к любимой женщине? А? Скажи...

Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал. - Я... ниничего. Я просто хотел компоту покушать... Компоту с белым хлебом...

- Компоту с белым хлебом? - Компоту. С белым хлебом. - Прекрасно. Значит, так: я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве. А вы, между тем, ищите у меня на лавочке: нет ли тут компоту с белым хлебом?.. А не найдя компоту...

Дедушка - первый не вынес, и весь расплакался. А следом за ним и внучек: верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы у пианиста... Оба плакали...

- Я вас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить... У меня душа, как у троянского коня пузо, многое вместит. Я все прощу, если захочу понять. А я понимаю: ... вы просто хотите компота и белого хлеба. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто вынуждены пить хотя бы то, что вы находите - взамен того, чего бы вы хотели...

Я их раздавил своими уликами, они закрыли лицо, оба, покаянно раскачивались на лавке, в такт моим обвинениям.

- Вы мне напоминаете одного старичка в Петушках. Он - тоже, он пил на чужбинку, он пил только краденое: утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, отойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это "пить на брудершафт", он был серьезно убежден, что это и есть "пить на брудершафт", он так и умер в своем заблуждении... Так что же? Значит, и вы решили - на брудершафт?..

Они все раскачивались и плакали, а внучек - тот даже заморгал от горя, всеми своими подмышками...

- Но - довольно слез. Я если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите - я могу угостить еще. Вы уже по пятьдесят грамм выпили - я могу налить еще по пятьдесят грамм...

В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал: - Я тоже хочу с вами выпить. Все разом на него поглядели. То был черноусый, в жакетке и коричневом берете.

-И-и-и-и-и, - заверещал молодой Митрич, - какой дяденька, какой хитрый дяденька...

Черноусый оборвал его, взглядом из-под усов: - Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей - вот...

И он поставил мне на лавочку бутылку столичной. - От моей не откажетесь? - спросил он меня. Я потеснился, чтобы дать ему место.

Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. Поцелуй тети Клавы.

- Тети Клавы? - Тети Клавы. Мы налили себе, каждый свое. Дед и внук протянули мне свою посуду: они оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед вынул пустую четвертинку, я сразу ее признал. А внучек - тот вынул даже целый ковш, и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы...

Я налил им, сколько обещал, и они улыбались. - На брудершафт, ребятишки? - На брудершафт. Все пили, запрокинув головы, как пианисты...

"Наш поезд на станции Есино не останавливается. Остановки по всем пунктам - кроме Есино".

Есино - Фрязево.

Началось шелестенье и чмоканье. Как будто тот пианист, который все пил, - теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа "Шум леса" до диез минор.

Первым заговорил черноусый в жакетке. И почему-то обращался единственно только ко мне:

-Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, - обязательно покраснеют...

- Ну, так что же? - Как то есть, "что же"? А Куприн и Максим Горький - так те вообще не просыпались!..

- Прекрасно. Ну, а дальше? - Как то есть "ну, а дальше"? Последние, предсмертные слова Антона Чехова какие были? Помните? Он сказал: "Ихь штербе", то есть "я умираю". А потом добавил: "Налейте мне шампанского". И уж тогда только - умер.

- Так-так?.. - А Фридрих Шиллер - тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он знаете, как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского - и пишет. Пропустит один бокал - готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов - готова целая трагедия в пяти актах.

-Так-так-так... Ну, и... Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы, а я едва-едва успевал их подбирать. "Ну, и..."

- Ну, и Николай Гоголь... - Что Николай Гоголь?.. - Он всегда, когда бывал у Панаевых, просил ставить ему на стол особый розовый бокал...

- И пил из розового бокала? - Да. И пил из розового бокала. - А что пил? - А кто его знает!.. Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку...

И я, и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся в предвкушении новых триумфов...

- А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу "Хованщина"? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: "Вставай! Иди умойся, и садись дописывать свою божественную оперу "Хованщина"!"

И вот они сидят - Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него - Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый, - пригнувшись н лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает.

Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым - бросает Модест свою бессмертную оперу "Хованщина" - и бух в канаву. А потом встанет и опять похмелится, и опять - бух!.. А между прочим, социал-демократы...

- Начитанный, чччччерт! - в восторге прервал его старый Митрич, а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и заиндевел...

- Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! - продолжал человек в жакетке. - Я, например, пью месяц, пью другой, потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить, пью месяц, пью другой, а потом...

- Погоди, - тут уж я его прервал, - погоди. Так что же социал-демократы?

- Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все нужные ей люди - все пили, как свиньи.

А лишние, бестолковые - нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина "между лафитом и клико" (заметьте: "между лафитом и клико"!) тем временем рождали "мятежную науку" и декабризм... А когда они, наконец, разбудили Герцена...

- Как же! Разбудишь его, вашего Нерцена! - рявкнул вдруг кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал Амур в коверкотовом пальто. - Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака!..

Все, кто мог смеяться, - все рассмеялись: "Да оставь ты его в покое, черт, декабрист фуев!" "Уши ему потри, уши!" "Какая разница - в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человек захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпуново!" Все вокруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно... И я - вместе с ними...

Я повернулся к жакетке и черным усам: - Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, причем же тут демократы и "Хованщина", и...

- А вот и притом! С этого и началось все главное - сивуха началась вместо клико! разночинство началось, дебош и хованщина!.. Все эти Успенские, все эти Помяловские - они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России! И отчего они пили? - с отчаянием пили! пили оттого, что честны! оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: "Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!"

Ну как тут не придти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ - пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик - не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает - и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире - подыхает, а Гаршин - встает - и с перепою бросается через перила...

Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал, как бешенный, - все выпитое подстегивало его и ударяло в голову, все ударяло и ударяло...

Декабрист в коверкотовом пальто - и тот бросил своего Герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные сырые глаза...

- А вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет абсолютно! Вы Маркса читали? Абсолютно! Другими словам, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились Герцена! А теперь - вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону - никто в России головы не поднимет: все в блевотине и всем тяжело!..

И так - до наших времен! вплоть до наших времен! Этот круг, порочный круг бытия - он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжку - я никак не могу разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом...

- Стоп! - прервал его декабрист. - А разве нельзя не пить! Взять себя в руки - и не пить? Вот тайный советник Гете, например, совсем не пил.

- Не пил? Совсем? - черноусый даже привстал и надел берет. - Не может этого быть!

- А вот и может. Сумел человек взять себя в руки - и ни грамма не пил...

- Вы имеете в виду Иоганна фон Гете? - Да. Я имею в виду Иоганна фон Гете, который ни

грамма не пил. - Странно... А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. бокал шампанского?..

- Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки - и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. "Помоги ему, Ерофеев, - шепнул я сам себе, - помоги человеку. Ляпни какую-нибудь аллегорию или...

- Так вы говорите: тайный советник Гете не пил ни грамма? - я повернулся к декабристу. - А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он - не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же. Проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фрязеве. Да. Идут от самого Есина до самого Храпунова или до самого Фрязева - и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гете, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите, хоть "Фауста", кто там не пьет? Все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им "Блоху". Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гете? Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что - есть свидетельство - он сам был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но как бы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства. В этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости...

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет - а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит - а он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал - тот тоже: сам не пьет, боится, что чуть выпьет и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас - так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый...

Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гете! Шиллер ему подносит, а он отказывается - еще бы! Алкоголик, он был, алкаш он был, ваш тайный советник, Иоганн фон Гете! И руки у него как бы тряслись!..

- Вот это да-а-а... - восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист - широким жестом - вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусого. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки - до странности возбужденно...

Мне налили - больше всех. Старому Митричу - тоже налили. Молодому тоже подали стакан - он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы ...

- Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гете?

Фрязево - 61-й километр.

-Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гете. Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры и что все остальные - тоже...

-А ... разрешите вам задать один пустяшный вопрос, - сказал чер-ноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах: он опять обращался толь-ко ко мне.

- Разрешите спросить: отчего это в глазах у вас столько грус-ти?.. Разве можно грустить, имея такие познания! Можно подумать - вы с утра ничего не пили!

Я даже обиделся: - Как, то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз... Я просто немного поддал...

- Нет, нет, эта замутненность - от грусти! Вы, как Гете! Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму, но все же выросшую из опыта! Вы, как Гете, все опровергае-те...

- Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью...? - Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте, в чем моя за-ветная лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бы-ваем вечером и какими становимся наутро? Я, например, если выпью - я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да.

А наутро? - наутро я не просто н е в е с е л, не просто неподвижен, нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был Эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? а вот, смотрите:

И черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил: горизонтальная линия - это линия обычной трезвости, п о в с е д н е в н а я линия. Наивысшая точка кривой - момент засыпания, наинизшая - пробуждения с похмелья...

- Видите! Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли эта забота; но она строго геометрична! Смотрите: ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус, нет! Она все изображает. Вечером - бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром - переоценка всех ценностей, переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный.

Если с вечера, спьяна природа нам "передала", то на утро она столько же и недодает, с математической точностью. Был у вас вечером позыв к идеалу - пожалуйста, с похмелья его сменит порыв к антиидеалу, а если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма...

Она - всеобща и к каждому применима. А у вас - все не как у людей, все, как у Гете!..

Я рассмеялся: "Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?.." И декабрист - тоже рассмеялся: "Коли она всеобща, то почему же лемма?.."

- А потому и лемма! Потому что в расчет не принимает бабу! Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу - не принимает! С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если б баба не была бабой, лемма не была бы леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба есть - и леммы уже нет... в особенности - если баба плохая, а лемма - хорошая...

Враз заговорили все. "Да что такое вообще: лемма?" И что такое - плохая баба?" Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие...

- У меня, например, - сказал декабрист, - у меня тридцать баб, и одна чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки, я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая...

- При чем тут усы! Разговор о бабе идет, а не об усах! - И об усах! Не было бы усов - не было б и разговора... - Черт знает, что вы городите!.. Все-таки, я думаю: одна хорошая стоит всех ваших. Как вы на это смотрите?.. - черноусый опять поворотился ко мне. - С научной точки зрения, как вы на это смотрите?..

Я сказал: - С научной, конечно, стоит. В Петушках, например, тридцать посудин меняют на полную бутылку зверобоя, и если ты принесешь, допустим...

" Как! Тридцать на одну! Почему так много!" - галдеж возобновился.

- Да иначе кто ж вам обменяет! Тридцать на двенадцать - это 3.60. А зверобой стоит 2.62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они еще не знают, а это - уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3.60, конечно, хорошо, это лучше, чем 2.62, но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважить...

- Да чем же она хороша, эта баба за витриной? - Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба - берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую. И поэтому надо уважить... Для чего вообще на свете баба?

Все значительно помолчали. Каждый подумал свое, или все подумали одно и то же, не знаю.

- А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри?

"Мерило всякой цивилизации - способ отношения к женщине." Вот и я: прихожу я в Петушинский магазин, у меня с собой тридцать пустых посудин. Я говорю: "Хозяюшка!" - голосом таким пропитым и печальным говорю: "Хозяюшка! Зверобою мне, будьте добры.." И ведь знаю, что чуть ли не рупь передаю: 3.60 минус 2.

" И ведь знаю, что чуть ли не рупь передаю: 3.60 минус 2.62. Жалко. А она на меня смотрит: давать ему, гаду, сдачи или не давать? А я на нее смотрю: даст она мне, гадина, сдачи или не даст? Вернее, нет, в это мгновение я смотрю не на нее. Я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды, а

под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк волосатые ноги. И пальцем мне грозит: "Не бери сдачи! Не бери сдачи!" Я ему моргаю: мол, жрать будет нечего. "Ну, хорошо, я выпью, а чем я зажирать буду?:

А он: "Ничего, Веня, потерпишь. А коли хочешь жрать - так не пей". Так и ухожу, без всякой сдачи. Сержусь, конечно, думаю: "Мерило!" "Цивилизации!" Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький, сдуру или спьяну ты сморозил такое на своем Капри? Тебе хорошо - ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать?.."

Публика смеялась. А внучек верещал: "И-и-и-и-и: какие агавы, какие хорошие капри..."

- А плохая баба? - сказал декабрист. - Разве не нужна бывает и плохая баба?

- Конечно! Конечно, нужна - отвечал я ему. - Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, двенадцать недель тому назад: я был во гробе, я уже четыре года лежал во гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят: "Вот - он во гробе. И, воскреси, если сможешь". А она подошла ко гробу - вы бы видели, как она подошла!

- Знаем! - сказал декабрист. - "Идет, как пишет. А пишет, как Лева. А Лева пишет фуево".

- Вот-вот! Подошла ко гробу и говорит: "Танифэ куми". Это значит, в переводе с древнежидовского: "Тебе говорю - встань и ходи". И что ж вы думаете? Встал - и пошел. И вот уже три месяца хожу, замутненный...

- Замутненность - от грусти, - повторил черноусый в беретке. - А грусть от бабы.

- Замутненность - оттого, что поддал, - перебил его декабрист. - Да причем тут "поддал"! А "поддал" - то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить! - плохая, значит, баба! Да если даже и плохая - все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать!..

- Честное слово! - вскричал декабрист. - Как хорошо, что все мы такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь. Давайте и я вам что-нибудь расскажу - про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет...

"Давайте!" Давайте как у Тургенева!" Даже старый Митрич - и тот сказал: "Давайте!.."

61-й километр - 65-й километр.

Первым начал рассказывать декабрист: - Один приятель был у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе как бес в него вошел. Он помешался - знаете на ком? На Ольге Эрдели, прославленной советской арфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная арфистка. Но он помешался именно на Эрдели. И ни разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе, - а вот поди ж ты, помешался...

Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в окошко не высовывается... Подай ему Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели и только тогда - воскресюсь: встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь в окошко. Мы ему говорим:

-Ну зачем тебе именно Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели, Вера Дулова играет прекрасно!

А он: "Подавитесь вы своей Верой Дуловой! В гробу, я видел вашу Веру Дулову! Я с вашей Верой Дуловой и ...ать рядом не сяду!"

Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через три опять мы к нему подходим.

- Ну, как, все Ольгой Эрдели бредишь? Мы нашли лекарство: хочешь, мы завтра приволокем тебе Веру Дулову?

- Конечно, - отвечает, - если вы хотите, чтобы я ее, вашу Веру Дулову, удавил струною от арфы, - тогда , пожалуйста, волоките.

Я ее удавлю.

Ну что делать? Малый совсем вымирает, надо его спасать. Пошел я к Ольге Эрдели, хотел объяснить ей в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой - да нет, думаю, удавит он ее, как незабудку. И иду я по Москве вечером, и грустно мне: они там на арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел.

А тут мне встречается бабонька, не то, чтоб очень старая, но уже пьяная-пьяная. "Рррупь мне дай, - говорит. - Дай мне рррррупь!" И тут-то меня осенило. Я дал ей рупь и все ей объяснил: она,

эта мандавошечка, оказалась понятливее Эрдели, а для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку...

И вот - я поволок ее к моему приятелю. Вошли: он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку, прямо с порога. А потом - швырнул ему в лицо эту Ольгу, я этой Ольгой в него запустил... "Вот она - Эрдели! Не веришь - спроси!"

И наутро смотрю: открылось окошко, он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом - потихоньку заработал, заучился, запил... И стал человек как человек. Вот видите!..

- Да где же тут любовь и где Тургенев? - заговорили мы, почти не дав окончить. " Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева? Ну, коли читал, так и расскажи! Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили - вот примерно все это и расскажи..."

- Конечно, - прибавил я, - у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете... Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо - что нам жабо! Мы уже и без жабо - лыка не вяжем...

- Конечно! Конечно! - Если любить по-тургеневски, это значит: суметь пожертвовать всем ради избранного создания! Суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеневски! Вот ты, например (мы незаметно переходили на "ты". Вот ты, декабрист. Ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, - смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины?

- Ну зачем палец?.. При чем тут палец? - застонал декабрист. - Нет, нет, слушай. А ты мог бы: ночью, тихонько войти в парткабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, одеть штаны и тихонько вернуться домой? ради любимой женщины? смог бы?..

- Боже мой! Нет, не смог бы. - Ну вот то-то... - А я бы смог! - проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. - А я бы смог чего-нибудь рассказать...

- Ты? Рассказать? Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева!..

- Ну и пусть, что не читал... Мой внучек зато все читал... - Ну, ладно! ладно! внучек потом расскажет! внучку потом слово дадим! Давай, папаша, валяй, рассказыай про любовь!..

"Представляю. - подумал я, - что это будет за чушь! что за несусветная чушь!" И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей Царицей: "Еще выше нанесу околесицы! Нанесу еще выше!" Что ж, пусть рассказывает, этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна - все равно: смотри и чти, смотри и не плюй...

Дедушка начал рассказывать:

65-й километр - Павлово-Пасад.

- Председатель у нас был... Лоэнгрин его звали, строгий такой... и весь в чирьях... и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет... плывет и чирья из себя выдавливает...

Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован: - А покатается он на лодке... придет к себе в правление, ляжет на пол... тут уже к нему не подступись - молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек - отвернется он в угол и заплачет... стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький...

Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал! Плакал, как женщина, охватив руками голову, плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны.

.. стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький...

Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал! Плакал, как женщина, охватив руками голову, плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны...

- Ну и все, что ли, Митрич?.. Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись, безобразно и радостно. А внучек даже весь задергася, снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в щиколотку. Черноусый сердился:

- Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева! А тут черт знает что такое! Какой-то весь в чирьях! да еще вдобавок "пысает"!

- Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал! - буркнул кто-то со стороны. Кинокартину "Председатель"!

- Какая там, к черту, кинокартина!.. А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто все и всех было жалко: жалко председателя, за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи - все жалко... Первая любовь или последняя жалость - какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства он нам не заповедовал. Жалость и любовь к мируедины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева - жалость.

- Давай, папаша, - сказал я ему, - давай я угощу тебя, ты заслужил! Ты хорошо рассказал про любовь!..

- И все, и все давайте выпьем! За орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции!

- Давайте! За орловского дворянина!.. Снова началось то же бульканье и тот же звон, потом опять шелестение и чмоканье. Этюд до диез минор, сочинение Ференца Листа, исполняется на бис.

Никто сразу и не заметил, как у входа в наше "купе" (назовем его "купе") выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна снизу доверху, и берет у нее разъезжался...

- Я тоже хочу Тургенева и выпить, - проговорила она всею утробою...

Замешательство длилось не больше двух мгновений. - Аппетитная приходит во время еды, - съязвил декабрист. Все засмеялись.

- Чего тут смеяться, - сказал дедушка. - Баба как баба, хорошая, мягонькая...

- Таких хороших баб, - мрачно отозвался черноусый и снял берет, - таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали...

- Ну, почему, почему! - я запротестовал и засуетился. - Пусть сядет. Пусть чего-нибудь да расскажет! "Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас...!" Я потеснился. Я усадил ее и налил ей полстакана "тети Клавы".

Она выпила и вместо благодарности, приподняла с головы свой берет "Вот это - видите?" И показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала - и снова протянула мне стакан: "Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок". Я налил ей еще полстакана.

Павлово-Посад - Назарьево.

Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь растворила свой рот и всем показала: "Видите - четырех зубов не хватает?" "Да где же зубы-то эти?" "А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу - у вас тут такой литературный разговор, дай думаю, я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба...

И она принялась рассказваыть, и чудовищен был стиль ее рассказа...

- Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: "Мой чудный взгляд тебя томил?" Я говорю: "Ну, допустим, томил..." А он опять за икры: "В душе мой голос раздавался?" Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок - я ходила все дни сама не своя, все твердила:"Пушкин - Евтюшкин - томил - раздавался". "Раздавался - томил - Евтюшкин - Пушкин". А потом опять: "Пушкин-Евтюшкин-.

А потом опять: "Пушкин-Евтюшкин-..."

- Ты ближе к делу, ближе к передним зубам, - оборвал ее черноусый.

- Сейчас, сейчас будут и зубы! Будут вам и зубы!.. Что же дальше?.. Да, с этого дня все шло хорошо, целых полгода я с ним на сеновале Бога гневила, все шло хорошо! А потом этот Пушкин опять все напортил... Я ведь как Жанна д'Арк. Та тоже - нет, чтобы коров пасти и жать хлеба - так она села на лошадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я - как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю: "А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?" А он огрызается: "Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет! Причем же тут Пушкин!" А я ему на это: "Когда они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!"

И так всякий раз - стоило мне немного напиться. "Кто за тебя, - говорю, - детишек?.. Пушкин, что ли?" А он-прямо весь бесится: "Уйди, Дарья - кричит, - уйди! Перестань высекать огонь из

души человека!" Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом - все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просыпалась от этого...

И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: "Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?" Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: "Пей, напивайся, а Пушкина не трогай! детишек - не трогай! Пей, все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!" А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в то время осень была, и я ему вот что тогда заорала: "Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! А потом пойду в монастырь и схиму приму! Ты придешь прощения ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю, собственным своим кукишем! Уходи!!" А потом кричу: "Ты хоть душу-то любишь во мне? Душу - любишь?" А он все трясется и чернеет: "Сердцем, - орет, - сердцем - да, сердцем люблю твою душу, но душою - нет, не люблю!!"

И как-то дико, по-оперному, рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит: "Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего "я"!"

Да! А через месяц он вернулся. А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: "Ага! - закричала. - Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек..." А он - не говоря ни слова - подошел, выбил мне четыре передних зуба, и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола...

- Дело к обмороку, малый. Налей-ка еще чуток... Все давились от смеха. Всех доконала, главное, это глухонемая бабушка.

- А где ж он теперь, твой Евтюшкин?.. - А кто его знает, где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит , в Сибири...

- Верно говоришь - поддержал я ее, - в Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов - был.

Он говорит: идешь, идешь, видишь - кишлак, а в нем кизяками печку топят, а выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул... Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего - приехал рыхлый и глаза навыкате...

- А в Сибири?.. - А в Сибири - нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж "поесть". Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца - и негры на них вешаются...

- Да что еще за негры? - встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы, допустим, в Сибири были.

А в Штатах вы были?..

- Был в Штатах! И не видел там никаких негров! - Никаких негров? В Штатах??.. - Да! В Штатах! Ни единого негра!.. Все как-то настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы, со шрамом и без зубов, - все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные - забылись; один только юный Митрич, чтоб в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка...

- Значит, вы были в Штатах, - мямлил черноусый, - это очень и очень чрезвычайно! Негров там нет и никогда не было, это я допускаю... я вам верю, как родному... Но- скажите: свободы там тоже не было и нет?.. свобода так и остается призраком на этом континенте скорби? скажите...

- Да, - отвечал я ему, - свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте! У них - я много ходил и вглядывался - у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семилетку. "Отчего бы это? - думал я и сворачивал с Манхеттена на 5-ю авеню и сам себе отвечал: "От их паскудного самодовольства, и больше ни отчего." Но откуда берется самодовольство?? я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль: "В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов - откуда столько самодовольства?" Я шел в

Гарлем и пожимал плечами: "Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей - откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день, и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством - а разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!.."

- Да, да, да, - кивал головою старый Митрич, - они там кушают, а мы почти уже и не кушаем... весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу... а сами что будем кушать?..

- Ничего, папаша, ничего!.. Ты уже свое откушал, грех тебе говорить. Если будешь в Штатах - помни главное: не забывай Родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине. Ты помнишь, что он писал?..

- Как же... помню... - и все выпитое выливалось у него из синих глаз - помню... "мы с бабушкой уходили все дальше в лес..."

- Да разве ж это про Родину, Митрич! - осоловело сердился черноусый. - Это про бабушку, а совсем не про Родину!..

И Митрич снова заплакал...

Назарьево - Дрезна.

А черноусый сказал: - Вот вы много повидали, много поездили. Скажите: где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?

- Не знаю, как по ту. А по эту - совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий - поодаль - поет про того, кто рисует... И так от этого грустно. А они нашей грусти - не понимают...

- Да ведь итальянцы! - разве они что-нибудь понимают! - поддержал черноусый.

- Именно. Когда я был в Венеции, в день святого Марка, - захотелось мне посмотреть на гребные гонки. И так мне грустно было от этих гонок! Сердце исходило слезами, но немотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают: "Смотрите-ка , Ерофеев опять ходит, как пое...!" Да разве ж я как пое...! Просто - немотствуют уста...

Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне сказали: "Ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею!" Прихожу в Помпею, а мне говорят: далась тебе эта Помпея! Ступай в Геркуланум!

Махнул рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонгоба койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться.

Иду, иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонгоба койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмиро Тольятти койку снять, но ведь он недавно умер... А чем хуже Луиджи Лонго?..

А все-таки обратно не пошел. А пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: "Если ты хочешь учиться на бакалавра - тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще?" Ну, что им ответить? Я говорю: "Ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота". "Из Сибири?" - спрашивают. Говорю: "Из Сибири." "Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей - что присуще?" А подумал: это все-таки не Храпуново, а Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: "Мне как феномену присущ самовозрастающий логос". А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее: "Дурак ты, - говорит, - а никакой не Логос! Вон, - кричит, - вон, Ерофеев из нашей Сорбонны!" В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонго...

Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дама, иду и удивляюсь: кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал Де Голль, ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны света. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки!...

По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снуют - из бардака в

клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским полям - кругом столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу: двое знакомых - она и он, оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? в газетах? не помню, короче, узнал: это Луи Арагон и Эльза Триоле. "Интересно, - прошмыгнула мысль у меня, - откуда они идут: из клиники в бардак или из бардака в клинику?" И сам же себя обрезал: "Стыдись. Ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы, самые мучительные социальные вопросы..."

Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я умираю от внутренних противоречий, и много еще чего - а он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под руку и дальше пошел. Я опять их догоняю, и теперь уже говорю не Луи, а Триоле: говорю, что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как в минуты отчаяния я сомнений не знал... - а она, как старая блядь, потрепала меня по щеке, взяла под руку своего Арагона и дальше пошла...

Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди, это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, ну да какая мне теперь разница? Я пошел по Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак - я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я двенадцать трубок - и отослал в "Рувю де Пари" свое эссе под французским названием "Шик и блеск иммер жлегант". Эссе по вопросам любви.

А вы ведь сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: "Какой это шанкр твердый или мягкий?" - он обязательно брякнет: "Мягкий, конечно", а покажи ему мягкий - так он и совсем растеряется. А там - нет. Там, может быть, не знают, сколько стоит зверобой, но уж если шанкр мягкий, так он для каждого будет мягок и твердым его никто не назовет...

Короче, "Ревю де Пари" вернул мне мое эссе, под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок.

Короче, "Ревю де Пари" вернул мне мое эссе, под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете? - я отчаялся? Я выкурил на антресолях еще тринадцать трубок - и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все, от начала до конца, было написано по-французски, русским был только заголовок: "Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости". И отослал в "Ревю де Пари".

- И вам опять его вернули? - спросил черноусый, в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон...

- Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею - ложной. К русским условиям, - сказали, - возможно, это и применимо, но к французским - нет; у вас, у русских, ваша блядовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом по обязательной программе; у нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского онанизма, с программой более произвольной, в нашу отечественную содомию, в которую - через кровосмесительство - трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной блядовитости и совершенно перманентно!..

Короче, они совсем за...али мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями - и через Верден попер к Ламаншу. Я шел, думал и шел - к Альбиону. Я шел и думал: "Почему я все-таки не остался жить на квартире Луиджи Лонго?" Я шел и пел: "Королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены..." А в окрестностях Лондона...

- Позвольте, - прервал меня черноусый, - меня поражает ваш размах, нет, я верю вам, как родному, меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали все государственные границы...

Дрезно - 85-й километр.

- Да что же тут такого поразительного! И какие еще границы?! Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница эта - не фикция и не эмблема, и потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую меньше пьют и говорят на нерусском...

А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски! Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить... Так что там на этот счет совершенно свободно... Хочешь ты, например, остановиться в Эболи - пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу - никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон - переходи.

Так что ничего удивительного... В двенадцать ноль-ноль по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея, фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сфр Комби Корм: -"Чего вы от нас хотите?" - спросил директор Британского музея. "Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали, вот чего я хочу..."

"Это в таких-то штанах, чтобы я вас стал ангажировать?" - сказал директор Британского музея. "Это в каких же таких штанах?" - переспросил я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: "Это в таких-то носках, чтобы я вас ангажировал?"

- В каких же это носках?! - заговорил я, уже досады и не скрывая, в каких же это носках?! Вот те носки, которые я таскал на Родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и...

А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и там сказал: "Лорды! вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело? или не давать этому пугалу никакого ангажемента?" А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят: "А ты попробуй, Уильям! попробуй, выставь его для обозрения! этот пыльный мудак впишется в любой интерьер!" Тут слово взяла королева Британии.

Она подняла руку и крикнула:

-Контролеры! Контролеры!.. - загремело по всему вагону, загремело и взорвалось: "Контролеры!!.."

Мой рассказ оборвался в наинтереснейшем месте. Но не только рассказ оборвался: и рьяная полудремота черноусого, и сон декабриста, - все было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся, весь в слезах, а молодой - ослепил всех своей свистящей жевотой, переходящей в смех и дефекацию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала как Фатаморгана...

Собственно говоря, на Петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец спьяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, когда идут контролеры: когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого - ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит уничтожающе, как на гадину. А публика - публика смотрит на "зайца" большими, красивыми глазами, как бы говоря: глаза опусти, мудозвон! совесть заела! А в глаза ревизору глядят еще решительней: вот мы какие - и можешь ли ты осущить нас? Подходи к нам, Семеныч, мы тебя не обидим...

До того, как Семеныч стал старшим ревизором, все выглядело иначе: в те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефроном и Брокгаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, скрываясь от контролера, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая за собой даже тех, кто с билетом. Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены - так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты...

Старший ревизор Семеныч все изменил: он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще: он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шоферня берет с "грачей" за километр по копейке, а Семеным брал в полтора раза дешевле: по грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чузлинки в Усад, расстояние девяносто километров, ты наливаешь Семенычу девяносто грамм и дальше едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негоциант...

Итак, нововведение Семеныча укрепило связь ревизора с широкою массою, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало... И в том всеобщем трепете, который вызывает крик

"Контролеры!!" - нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение...

Семеныч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах, он доезжал, обычно, только до Орехово-Зуева, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотины...

- Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? кататься на карусели? с вас обоих сто восемьдесят. А это ты, черноусый? Салтыковская - Орехово-Зуево? Семьдесят два грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда? Серп и Молот - Покров? Сто пять, будьте любезны. Все меньше становится "зайцев". Когда-то это вызывало "гнев и возмущение", теперь же вызывает "законную гордость"... А ты, Веня?..

И Семеныч всего меня кровожадно обдал перегаром: - А ты, Веня? Как всегда: "Москва - Петушки"?

85-й километр - Орехово-Зуево.

-Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва - Петушки... -И ты думаешь, Шехерезада, что ты и на этот раз от меня отвертишься?! Да?..

Тут я должен сделать маленькое отступленьице, и пока Семеныч пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему "Шехерезада" и что значит "отвертишься".

Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семенычем. Тогда он только заступил на должность. Он подошел ко мне и спросил: "Москва - Петушки? Сто двадцать пять." И когда я не понял в чем дело, он объяснил мне в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: "Так что же? бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет?" Я ответил ему, что бить не надо и промямлил что-то из области Римского права.

Тогда он только заступил на должность. Он подошел ко мне и спросил: "Москва - Петушки? Сто двадцать пять." И когда я не понял в чем дело, он объяснил мне в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: "Так что же? бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет?" Я ответил ему, что бить не надо и промямлил что-то из области Римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать, и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием, но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуеве, а он так и не успел дослушать, что же все-таки случилось с Лукрецией: достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг?..

А Семеныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист, история мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороною. И когда через неделю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, Семеныч уже не сказал мне: "Москва-Петушки? Сто двадцать пять." Нет, он кинулся ко мне за продолжением: "Ну, как? У...л он все-таки эту Лукрецию?"

И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел к христианской и дошел уже до истории с Гипатией. Я ему говорил: "И вот, по наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии сорвали одежды с прекрасной Гипатии и..." Но тут наш поезд, как вкопанный, остановился в Орехово-Зуево, и Семеныч выскочил на перрон, вконец заинтригованный...

И так продолжалось три года, каждую неделю. На линии "Москва-Петушки" я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семенычу ни единого грамма и тем не менее оставался в живых и непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история - тоже...

В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моше Даяна и Дубчека. Дальше этого идти было некуда...

И вот - Семеныч выпил свою штрафную, крякнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахриар:

- Москва-Петушки? Сто двадцать пять. - Семеныч! - отвечал я, почти умоляюще, - Семеныч! Ты выпил сегодня много?..

- Прилично, - отвечал мне Семеныч, не без самодовольства. Он пьян был в дымину...

- А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по силам? Значит: ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который "ей-ей, грядет"?

- Могу, Веня, могу! сегодня я все могу!.. - От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадцатого съезда - можешь ли шагнуть, вместе со мной, в мир вожделенного

всем иудеям пятого царства, седьмого неба и второго пришествия?..

- Могу! - рокотал Семеныч. - Говори, говори, Шахразада! - Так слушай. То будет день, "избраннейший всех дней". В тот день истомившийся Симеон скажет, наконец: "Ныне отпущаещи раба Твоего, Владыка..." и скажет архангел Гавриил: "Богородица Дева, радуйся, благословенна ты между женами." И доктор Фауст проговорит: "Вот - мгновенье! Продлись и постой." И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют: "Исайя, ликуй!" И Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе...

- Сольются в поцелуе?.. - заерзал Семеныч, уже в нетерпении... - Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и рассчет покинут сердца, и женщина...

- Женщина!! - затрепетал Семеныч. - Что? что женщина?!!!.. - И женщина Востока сбросит с себя паранджу! окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина Востока! И возляжет...

- Возляжет?!! - тут уж он весь задергался. - Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится, и...

- О-о-о-о! - застонал Семеныч. - Скоро ли она? Скоро ли будет?.. - и вдруг как гитана, заломил свои руки, а потом суетливо, путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все, до самой нижней своей интимности.

Я, как ни был пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное "ого"! Она, эта публика, все поняла не так, как надо было бы понять...

А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот, а арабов с иудеями примирить? - что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм.

Допустим, смотрят они телевизор: генерал де Голль и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публика: "Ого!? - говорит - Ай да генерал де Голль!" или "Ого! Ай да Жорж Помпиду!"

Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это "Ого!"

- Семеныч! Семеныч! - я обхватил его и потащил на площадку вагона. - На нас же смотрят!.. Опомнись!.. Пойдем!..

Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у входных дверей...

- Веня! Скажи мне... женщина Востока... если снимет с себя паранджу... на ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..

Я не успел ответить. Поезд, как вкопанный, остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась...

Орехово-Зуево.

Старшего ревизора Семеныча, заинтригованного в тысячу первый раз, полуживого, расстегнутого - вынесло на перрон и ударило головой о перила. Мгновения два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публике, и все штрафы за безбилетный проезд хлынули унего из чрева, растекаясь по перрону...

Все это я видел совершенно отчетливо, и свидетельствую об этом миру. Но вот всего остального - я уже не видел, и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну, - и выплюнуть на ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей. Я мотался, как говно в проруби.

И если там Господь меня спросит: "Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия...?"- и я скажу ему: "Нет, Господь, не сразу..." Краешком сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться

на чью-то лавочку, первую от дверей...

А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты - о нет! Я лгу опять! я снова лгу перед лицом Твоим, Господь! Это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память! - я не сразу отдался потоку, я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз пять или шесть, - а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты...

"Все ваши выдумки о веке златом, - твердил я, - все ложь и уныние. Но я-то, двенадцать недель тому, видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск - в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом, не отцветает жасмин, - а что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученый виссон смежил ресницы и обоняет лилии?..

И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина...

Орехово-Зуево - Крутое.

...А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится, от меня и от солнца.

- Что ты здесь делаешь, Тихонов? - Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы.

Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы...

- Значит, ты считаешь, что ситуация назрела? - А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела: а как начинает хмель проходить - нет, думаю, еще не назрела, рано еще браться за оружие...

- А ты выпей можжевеловой, Вадя... - Тихонов выпил можжевеловой, крякнул и загрустил. - Ну, как? Назрела ситуация? - Погоди, сейчас назреет... - Когда же выступать? Завтра? - А кто его знает! Я, как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай, что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить - нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно.

- А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой... Вадимчик выпил и опять загрустил. - Ну, как? Ты считаешь: пора?.. - Пора... - Не забывай пароль. И всем скажи, чтоб не забывали: завтра утром, между деревней Гартино и деревней Елисейково, у скотного двора, в девять ноль-ноль по Гринвичу...

- Да. В девять ноль-ноль по Гринвичу. - До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь... - Постараюсь уснуть, до свидания, товарищ. Тут я сразу должен оговориться, перед лицом совести всего человечества я должен сказать: я с самого начала был противником этой авантюры, бесплодной, как смоковница. (Прекрасно сказано: "бесплодной, как смоковница"). Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня - я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие...

В девятом часу по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили: "Садись, товарищ, с нами - в ногах правды нет", и каждый оставался стоять, бряцал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери: "Но правды нет и выше". Шаловлив был этот пароль и двусмысленен, но нам было не до этого: приближалось девять ноль-ноль по Гринвичу...

С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам Елисейковского сельсовета свои четырнадцать тезисов. Вернее, не прибил их к воротам, а написал на заборе мелом, и это скорее были слова, а не тезисы, четкие и лапидарные слова, а не тезисы, и было их всего два, а не четырнадцать, - но, как бы то ни было, с этого все началось. Двумя колоннами, с штандартами в руках, мы вышли - колонна на Елисейково, другая - на Тартино. И шли беспрепятственно вплоть до заката: убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было, пленный был только один - бывший председатель ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейково было повержено. Черкасово валялось у нас в ногах, Неугодново и Пекша молили о пощаде. Все жизненные центры петушинского уезда - от магазина в Полошах до андреевского склада сельпо, - все заняты были силами восставших...

А после захода солнца - деревня Черкасово была провозглашена столицей, туда был доставлен пленный, и там же симпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня

Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из Петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич...

С места кричали: "А где это такая - Норвегия?.." "А кто ее знает, где!" - отвечали с другого места. У черта на куличках, у бороды на клине!" "Да где бы она ни была, - унимал я шум, - без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить, а для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война, нужно как минимум двенадцать фронтов..." "Белополяки нужны!" - кричал закосевший Тихонов. "О, идиот, - прерывал я его, - вечно ты ляпнешь! Ты блестящий теоретик, Вадим, твои тезисы мы прибили к нашим сердцам, - но как доходит до дела, ты говно-говном! Ну, зачем тебе, дураку, белополяки?. " "Да разве я спорю! - сдавался Тихонов. -Как будто они мне больше нужны, чем вам! Норвегия так Норвегия..."

Впопыхах и в азарте все как-то забыли, что та уже двадцать лет состоит в НАТО, и Владик Цаский уже бежал на ларионовский почтамт, с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо - вернее, даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, - было отправлено генералу Франко: пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала, пусть побелеет, как этот лист, одряхлевший разъ...й-каудильо!.. От премьера Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного: убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба, а дальше поступай по произволению... И, наконец, четвертое письмо - Владисласу Гомулке, мы писали ему: Ты, Владислав Гомулка, имеешь полное и неотъемлемое право на Польский Коридор, а вот Юзеф Циранкевич не имеет на Польский Коридор ни малейшего права...

И послали четыре открытки: Аббе Эбану, Моше Даяну, генералу Сухарто и Александру Дубчеку. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята, может они нас, губошлепы, признают за это субъектами международного права...

Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм, все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенции, и воображали себе, как будет рад Владислав Гомулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Циранкевич...

Не спал и пленный, бывший председьсовета Анатолий Иваныч, он выл из своего сарая, как тоскующий пес:

- Ребята!.. Значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет?..

- Эва, чего захотел! Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией!..

- А чего это такое?.. - Узнаешь, чего это такое! То есть, ноги еще будешь таскать, Иваныч, а уж на блядки не потянет!..

Крутое - Воиново.

А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся Пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших Пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтоб их не перепутать, решили пронумеровать их 1-й пленум, 2-й пленум, 3-й пленум, 4-й пленум...

Весь 1-й пленум, был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас полторы-две минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную: кто раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах?

А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так: прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем то, чем должна увенчиваться всякая революция, то есть "декреты"? Например, такой декрет: обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в шесть утра. Кажется, чего бы проще? - нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в шесть утра, а не в девять тридцать! Как это раньше не пришло мне в голову!..

Или, например, декрет о земле: передать народу всю землю уезда, со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа? Или так: передвинуть стрелку часов на два часа вперед, или на полтора часа назад, все равно, только бы куда передвинуть. Потом: слово "черт" надо принудить снова писать чрез "о", а какую-нибудь букву

вообще упразднить, только надо подумать, какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать, а не в девять...

Мысли роились - так роились, что я затосковал, отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминной, и я сказал:

- Слушай-ка, канцлер! - Ну, чего?.. - Да ничего. Говенный ты канцлер, вот чего. - Найди другого, - обиделся Тихонов. - Не об этом речь, Вадя. А речь вот о чем: если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался, ты ущипнул за ляжку Анатоль Иваныча? Ты что же это? - открываешь террор?

- Да так.

Немножко... - И какой террор открываешь? Белый? - Белый. - Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный... Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем - декларацию прав. А уж только потом - террор. А уж потом выпьем - учиться, учиться, учиться...

Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул: - Да-а-а... сплоховал я с этим террором... Ну, да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело, и прецедентов считай что не было... Были, правда, прецеденты, но...

- Ну, разве это прецеденты! Это - так! чепуха! Полет шмеля это, забавы взрослых шалунов, а никакие прецеденты!.. Летоисчисление - как ты думаешь? - сменим или оставим как есть?

- Да лучше оставим. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет...

- Верно говоришь, оставим. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя, а это хорошо. Закрывать, что ли, пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская.

- Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет Второй пленум... Пойдем в Поломы.

У тети Шуры в Поломах и в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено была временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то есть на двенадцать верст вглубь территории республики.

И там, на другое утро, открылся 2-й пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента.

- Я встаю с президентского кресла, - сказал я в своем выступлении, - я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья в три дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас? - "Нет таких", - хором отвечали делегаты. "Мою, например, харю - разве нельзя уделать в три дня и с похмелья?"

Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хором: "Можно".

- Ну, так вот, - продолжал я. - Обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как: все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Поскольку это человек высоких моральных качеств, пусть он тут сидит и формирует кабинет...

Мою речь прервали овации, и Пленум прикрылся: окрестные луга озарились синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех, я ходил меж огней с одною тревожною мыслью: почему это никому в мире нет до нас ни малейшего дела? почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит оттого, что затаил дыхание, - допустим, но почему никто не подает нам руки ни с Востока, ни с Запада? Куда смотрит король Улаф? Почему нас не давят с юга регулярные части?..

Я тихо отвел в сторону канцлера, от него разило пуншем: - Тебе нравится, Вадя, наша революция? - Да, - ответил Вадя, - она лихорадочна, но она прекрасна. - Так... А насчет Норвегии, Вадя, - насчет Норвегии ничего не слышно?

-Пока ничего... А что тебе Норвегия? - Как то есть что Норвегия?!.. В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет... Если и завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло - и тогда увидишь, что будет!..

- Садись, - ответил Вадя, - кто тебе мешает, Ерофейчик?.. Если хочешь - садись...

Воиново - Усад.

Ни одной бомбы на нас не упало и наутро. И тогда, открывая 3-й пленум, я сказал:

"Сенаторы! Никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из Петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры кончится завтра утром, - я беру в свои руки всю полноту власти;

то есть кто дурак и не понимает, тому я объясню: я ввожу комендантский час. Мало того - полномочия президента я объявляю чрезвычайными, и заодно становлюсь президентом. То есть "личностью, стоящей над законом и пророками"...

Никто не возразил. Один только премьер Боря С.

То есть "личностью, стоящей над законом и пророками"...

Никто не возразил. Один только премьер Боря С. при слове "пророки" вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения...

Через два часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и от чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение: "Смерть наступила вследствие естественных причин". Чья смерть, сказано не было, но мир догадывался.

4-й пленум был траурным. Я выступил и сказал: "Делегаты! Если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стену портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки - вот какой это будет портрет. Точно так же и я: встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердце, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, - а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнеж и мудянка...

И на что нам рассчитывать, подумайте сами! В общий рынок нас никто не пустит. Корабли Седьмого американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят..."

Тут уже заорали с мест: - А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики! В-52 нам дадут!

- Как же! дадут нам В-52! Держите карман! Прямо смешно вас слушать, сенаторы!

- И "Фантомы" дадут! - Ха-ха! Кто это сказал: "Фантомы"? Еще одно слово о "Фантомах" и я лопну от смеха...

Тут Тихонов со своего места сказал: - "Фантомов" нам, может быть, и не дадут, - но уж девальвацию франка точно дадут...

- Дурак ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ты ляпнешь!.. Да и не в этом дело. Почему весь Петушинский район охвачен пламенем, но никто, никто этого не замечает, даже в Петушинском районе? Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я, как Понтий Пилат: умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да. Я топчу ногами свои полномочия - я ухожу от вас. В Петушки.

Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно, когда я стал допивать остаток!..

А когда я стал уходить, когда ушел - какие слова полетели мне вслед! Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду...

В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада, мне в поле кланялись хлеба и улыбались васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния... Закатилось солнце, а я все шел.

"Царица Небесная, как далеко еще до Петушков"! - сказал я сам себе. "Иду, иду, а Путешков все нет и нет. Уже и темно повсюду - где же Петушки?"

"Где же Петушки?" - спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? я ведь в этом ничего не понимаю, и вечно путаю.

Я постучался и спросил: "Где же Петушки? Далеко еще до Петушков?" А мне в ответ - все, кто был на веранде - все расхохотались, и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал - ржание на веранде возобновилось. Странно! Мало того - кто-то ржал у меня за спиной.

Я оглянулся - пассажиры поезда "Москва - Петушки" сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как? Значит, я все еще еду?..

"Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, как пальма, щедр. Не понимаю, причем тут пальма, ну да ладно, все равно будь, как пальма. У тебя кубанская в кармане осталась? осталась. Ну вот, поди на

площадку и выпей. Выпей, - чтобы не так тошнило."

Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок.

Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна...

- Мы подъезжаем к Усаду, да? - Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос: - Мы подъезжаем к Усаду?

- Ты, чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел, - отвечал какой-то старичок, - дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверно, еще уроки к завтрему не приготовил, мама ругаться будет.

А потом добавил: - От горшка два вершка, а уже рассуждать научился!.. Он что, очумел, этот дед? Какая мама? Какие уроки?.. От какого горшка?.. Да нет, наверно, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок, с белым-белым лицом, стал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал:

- Да и вообще: куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?..

"Милая странница!!!?" Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай, тихонько, всего себя ощупал: какая же я после этого "милая странница"? С чего это он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить - но ведь не до такой же степени нелепо!

Я в своем уме, а они все не в своем - или наоборот: они все в своем, а я один не в своем? Тревога со дна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз, у одного из выходящих, спросил:

- Это Усад, да? А он (совсем неожиданно) вытянулся передо мной в струнку и рявкнул: "Никак нет!!" А потом - потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал: "Я Вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!.."

И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом.

Усад - 105-й километр.

Я остался на площадке, в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним, пусть милая странница", пусть "старший лейтенант", - но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста? Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров?.. Почему?..

Я припал головой к окошку - о, какая чернота! и что там в этой черноте - дождь или снег? или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? тоже.

- А! Это ты! - кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже и поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. "Искушать сейчас начнет, тупая морда! Нашел же ведь время - искушать!"

- Так это ты, Ерофеев? - спросил Сатана. - Конечно, я. Кто же еще?.. - Тяжело тебе, Ерофеев? - Конечно, тяжело. Только тебя это не касается. Проходи себе дальше, не на такого напал...

Я все так и говорил: уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь.

- А раз тяжело, - продолжал Сатана, - смири свой порыв. Смири свой духовный порыв - легче будет.

- Ни за что не смирю. - Ну и дурак. - От дурака слышу. - Ну ладно, ладно... уж и слова не скажи!.. Ты лучше вот чего: возьми и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься...

Я сначала подумал, потом ответил: - Не-а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь... И Сатана ушел, посрамленный. А я - что же мне оставалось? - я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном, и все тревожила. И будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. "Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится."

Но шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько, по одному, подходили к сердцу; и сердце вступило в единоборство с рассудком...

"Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь.

Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой - таково мое мнение.

Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой - таково мое мнение. Да если оно тебе и не нравится - она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход: принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма..."

"Так-то оно так... но ведь я выехал утром... В восемь шестнадцать, с Курского вокзала..."

"Да мало ли что утром!.. Теперь, слава Богу, осень, дни короткие; не успеешь очухаться - бах! уже опять темно... А ведь до Петушков ехать о-о-о-о как долго! От Москвы до Петушков о-о-о как долго ехать!.."

"До чего "о-о-о"! Чего ты все "о-о-о" да "о-о-о"! От Москвы до Петушков ехать ровно два часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу, например..."

"Ну что тебе прошлая пятница?! Мало ли что было в прошлую пятницу! В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили... А теперь черт знает, стоит - а зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается: чего он все стоит да стоит? И так у каждого столба . Кроме Есино..."

Я взглянул за окно и опять нахмурился: "Да-а... странно все-таки... выехали в восемь утра... и все еще едем..."

Тут уж сердце взорвалось: "А другие-то? Другие-то что: хуже тебя? Другие - ведь тоже едут и не справшивают, почему так долго и почему так темно? Тихонько едут и в окошко смотрят... Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно... Какой торопыга! Если ты выпил, Веня, - так будь поскромнее, не думай, что ты умнее и лучше других!..

Вот это меня уже совсем утомило. Я ушел с площадки снова в вагон, и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко, вся публика в вагоне, человек пять или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы... Я чуть было тоже не задремал...

И вдруг - подскочил на месте: "Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать! В 11 утра она уже будет меня ждать - а на дворе все еще темно... Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней двенадцать раз, и все какими-то задворками и пьяный вдребодан... Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, рассветет! Когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы!

Впрочем, стоп! Ведь я уезжал из Москвы - заря моей пятницы уже взошла. Значит - уже сегодня пятница! Почему же так темно за окном?.."

"Опять! Опять ты со своей темнотой! далась тебе эта темнота!" "Но ведь в прошлую пятницу..." Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем!.." "Нет, нет,

послушай... В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне, с косой от затылка до попы... и было очень светло, я хорошо помню, и косу хорошо помню..."

"Да что "коса"! Ты пойми, дурак, я тебе повторяю: день сейчас убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу, в 11 утра, может уже быть совершенно темно, хоть глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь!.. Тоже мне, сказал: "коса"! Да коса-то, может, и прибывает: она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы... А осенний день наоборот - он уже с гулькин ...!

Какой же ты все-таки бестолковый, Веня! Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка - и прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис: "Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь ей триста грамм конфет "Василек". И вот - через двадцать минут ты будешь в Петушках, и на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот "Василек". А все вокруг станут говорить: тринадцатый раз подряд мы видим один сплошной "Василек".

А все вокруг станут говорить: тринадцатый раз подряд мы видим один сплошной "Василек". Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура. А она рассмеется и скажет: ..."

Тут я почти совсем задремал. Я уронил голову себе на плечо и до Петушков не хотел ее

поднимать. Я снова отдался потоку...

105-й километр - Покров.

Но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине. Я вздрогнул и обернулся: передо мною был некто без ног, без хвоста и без головы.

- Ты кто? - спросил я его в изумлении. - Угадай, кто! - и он рассмеялся, по-людоедски рассмеялся... - Вот еще! Буду я угадывать!.. Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся: передо мною был все тот же некто, без ног, без хвоста и без головы...

- Ты зачем меня бьешь? - спросил я его. - А ты угадай, зачем!.. - ответил тот, все с тем же людоедским смехом.

На этот раз - я все-таки решил угадать. "А то, если от него отвернешься, он, чего доброго, треснет тебя по спине своими ногами..."

Я опустил глаза и задумался. Он - ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей. Как будто он мне, дураку сопли вытирал...

Первым заговорил все-таки он: - Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее?..

Где...

- Да. Где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее. - Где твоя паскуда валяется в жасмине и виссоне и птички порхают над ней и лобзают ее, куда им вздумается?

- Да. Куда им вздумается. Он опять рассмеялся и ударил меня в поддых. - Так слушай же. Перед тобою - Сфинкс. И он в этот город тебя не пустит.

- Почему же это он меня не пустит? Почему же это ты не пустишь? Там, в Петушках, - чего? моровая язва? Там с кем-нибудь обручили собственную дочь? и ты...

- Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе - не пущу, значит не пущу. Вернее, пущу при одном условии: ты разгадаешь мне пять моих загадок.

"Для чего ему, подлюке, загадки?" - подумал я про себя. А вслух сказал:

- Ну, так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки.

"Для чего ему, разъ...аю, загадки?" - подумал я еще раз. Но он уже начал первую:

"Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде, и один раз в два дня - по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу - по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой нужде, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой."

Про себя я подумал: "На кого это он намекает, скотина? В туалет никогда не ходит? Пьет не просыпаясь? На кого намекает, гадина?.."

Я обиделся и сказал: - Это плохая загадка, Сфинкс, эта загадка с поросячьим подтекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку.

- Ах, не будешь! Ну, ну! То ли ты еще у меня запоешь! Слушай вторую:

"Когда корабли Седьмого американского флота пришвартовались к станции Петушки, партийных девиц там не было, но если комсомолок назыть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей Седьмого американского флота обнаружилось следующее: каждая третья комсомолка была изнасилована, каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой, каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой; каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в Петушках 428 - определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток?"

"На кого, на кого он теперь намекает, собака? Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать, паразит?"

- Я не буду решать и эту загадку, Сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка.

Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью.

- Ха-ха! Давай третью! "Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов Ц тем более нет. Есть одни только пункты Б. Так вот: Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта Б в сторону пункта Б . В то же мгновенье Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта Б в

пункт Б . Неизвестно почему оба они оказались в пункте Б , отстоящем от пункта Б на расстоянии 12-ти водопьяновских плевков, а от пункта Б - на расстоянии 16-ти плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на три метра семьдесят два сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин спасать Водопьянова?"

"Боже мой! Он что, с ума своротил, этот паршивый Сфинкс? Чего это он несет? Почему это в Петушках нет ни А, ни Ц, а одни только Б? На кого он, сука, намекает?.."

- Ха-ха! - вскричал, потирая руки, Сфинкс. - И эту решать не будешь?! И эту - не будешь?! Заело, длинный мозгляк? Заело? Так вот тебе - на тебе четвертую:

"Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине - и в падении опрокинул соседний столик. На столике до падения было: два пирожных по 35 коп., две порции бефстроганова по 73 коп. каждая, две порции вымени по 39 коп. и два графина с хересом, по 800 грамм каждый. Все черепки остались целы. Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так: один графин не разбился, но из него все до капельки вытекло; другой графин разбился вдребезги, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в шесть раз больше порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок, - узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала?"

- Как то есть "Курского вокзала"? - Так то есть "Курского вокзала"! - Так он же поскользнулся-то - где? Он же в Петушках поскользнулся, Лорд Чемберлен поскользнулся-то ведь в петушинском ресторане!..

- А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет? "Боже ты мой! Откуда берутся такие Сфинксы? Без ног, без головы, без хвоста, да вдобавок еще несет такую ахинею! И с такою бандитскою рожей!.. На что он намекает, сволочь?.."

- Это не загадка, Сфинкс. Это издевательство. - Нет, это не издевательство, Веня. Это загадка. Если и она тебе не нравится, тогда...

- Тогда давай последнюю, давай! - Давай последнюю. Только слушай внимательно: "Вот: идет Минин, а навстречу ему - Пожарский. "Ты какой-то странный, сегодня, Минин, - говорит Пожарский, - как будто много выпил сегодня." "Да и ты тоже странный, Пожарский, идешь и на ходу спишь." "Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?" "Сейчас скажу: сначала 150 грамм российской, потом 580 кубанской, 150 столичной, 125 перцовой и семьсот грамм ерша. А ты?" "А я ровно столько же, Минин." "Так куда же ты теперь идешь, Пожарский?" "Как куда? В Петушки, конечно. А ты, Минин?" "Так ведь я тоже в Петушки. Ты ведь, князь, совсем идешь не в ту сторону!" "Нет, это ты идешь не туда, Минин." Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин - туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал.

Так. А теперь ты мне скажи: если б оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем - куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел? Скажи.

- В Петушки? - подсказал я с надеждой. - Как бы не так! ха-ха! Пожарский попал бы на Курский вокзал! Вот куда!

И Сфинкс рассмеялся, и встал на обе ноги: - А Минин? Минин куда бы попал, если б шел своею дорогою и не слушал советов Пожарского? Куда бы Минин пришел?..

- Может быть, в Петушки? - я уже мало на что надеялся и чуть не плакал. - В Петушки, да?

- А на Курский вокзал - не хочешь?! Ха-ха! - И Сфинкс, словно ему жарко, словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом.

- И Минин придет на Курский вокзал!.. Так кто же из них попадет в Петушки, ха-ха? А в Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет!..

Что это был за смех у этого подлеца! Я ни разу в жизни не слышал такого живодерского смеха! Да добро бы он только смеялся! - а то ведь он, не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил...

- Куда? Куда ты меня волокешь, Сфинкс? Куда ты меня волокешь?.. - А вот увидишь - куда! Ха-ха! Увидишь!..

Покров - 113 километр.

Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку - и растворился в воздухе... Для чего это ему было надо? Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже

не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано: "..." - и вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись "Покров".

"Покров! Город Петушинского района! Три остановки, а потом - Петушки! Ты на верном пути, Венедикт Ерофеев." И вот моя тревога, которая до того со дна души все поднималась, разом опустилась на дно души и там затихла...

Три или четыре мгновения она, притихшая так и лежала. А потом - потом она не то чтобы стала подыматься со дна души, нет, она со дна души подскочила одна мысль, одна чудовищная мысль вобралась в меня так, что даже в коленках у меня ослабло:

Вот - я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись "Покров" и яркие огни. Все это хорошо - и "Покров", и яркие огни. Но почему же они оказались справа по ходу поезда?.. Я допускаю: мой рассудок в некотором затмении, но ведь я не мальчик, я же знаю, если станция Покров оказалась справа, значит - я еду из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки!.. О, паршивый Сфинкс!

Я онемел и заметался по всему вагону, благо в нем уже не было ни души. "Постой, Веничка, не торопись. Глупое сердце, не бейся. Может, просто ты немного перепутал: может, Покров был все-таки слева, а не справа? Ты выйди опять в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано "...".

Я выскочил в тамбур и посмотрел направо: на запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано "...". Я поглядел налево: там так же было написано "...". Боже, я схватился за голову и вернулся в вагон, и снова онемел и заметался...

"Постой, постой... А ты вспомни, Веничка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда, и все черноусые, все митричи, все декабристы - все сидели справа по ходу поезда. И значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто!.."

Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика - чемоданчика нигде не было, ни слева, ни справа.

Где мой чемоданчик?! "Ну, ладно, ладно, Веня, успокойся. Пусть. Чемоданчик - вздор, чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль: куда ты едешь? А уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свою мысль, - а уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или миллион? Конечно, сначала мысль, а уж потом - миллион."

"Ты благороден, Веня. Выпей весь свой остаток кубанской - за то, что ты благороден."

И вот - я запрокинулся, допивая свой остаток. И - сразу - рассеялась тьма, в которую я был погружен, и забрезжил рассвет из самых глубин души и рассудка; и засверкали зарницы, по зарнице с каждым глотком и на каждый глоток по зарнице.

"Человек не должен быть одинок - таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им: "Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. (Потому что остаток только что допил, ха-ха!) А вы - отдайте мне себя и, отдав, скажите: а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?"

"И по-твоему, именно так должен поступать человек?" - спросил я сам себя, склонив голову влево.

"Да.

"Да. Именно так, - склонив голову вправо, ответил я сам себе. - Не век же рассматривать "..." на вспотевших стеклах и терзаться загадкою!.."

И я пошел по вагонам. В первом не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором тоже никого; даже дождь не брызгал...

В третьем - кто-то был...

113-й километр - Омутище.

...Женищина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и, безучастно разглядывая мглу за окном, прижимала к губам кружевной платочек. "Ни дать, ни взять - копия с "Неутешного горя", копия с тебя, Ерофеев, - сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся.

Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарования, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала...

Вот! Человек уединяется, чтобы поплакать. Но изначально он не одинок. Когда человек

плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает, ибо есть ли что-нибудь на свете выше безутешности?.. О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, - чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы;..

Что же мне все-таки сказать? - Княгиня, - позвал я тихо. - Ну, чего тебе? - отозвалась княгиня, глядя в окно. - Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины, вот чего... - Не болтай ночами, малый. Это не гармонь, а переносица... Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь...

"Это мне-то, в моем-то положении - молчать! Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки!.. Жаль, что я забыл, о чем эта загадка, но помню, что-то очень важное... Впрочем, ладно, потом вспомню... Женщина плачет - а это гораздо важнее... О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад - и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять напоказ!.. О, низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме "скорби" и "страха", и после этого - и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом!..

О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаголом! Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности!..

Я подумал и скзал: - Княгиня!.. а княгиня!.. - Ну, чего тебе опять? - Нет у тебя уже гармони. Не видно. - Чего ж тебе тогда видно? - Одни только кустики. (Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь).

- Сам ты кустик, я вижу... -"Ну что ж, кустик, так кустик." Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил вот эту женщину... О чем же все-таки это "важное"?

- Слушай-ка, княгиня!.. А где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа.

- Чего ты мелешь? - Честное слово, с тех пор не видел... Где он, твой камердинер? - Он такой же твой, как и мой! - огрызнулась княгиня. И вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей - остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах, и крикнула:

- Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Не-на-ви-жу!! И скрылась. "Вот это да-а-а, - протянул я восторженно, как давеча декабрист. Ловко она меня отбрила!" И ведь так и ушла, не ответив на самое главное!.. Царица Небесная, что же это главное? Именем щедрот Твоих - дай припомнить!.. Камердинер!

Я позвонил в колокольчик... Через час - опять позвонил. - Ка-мер-ди-нер!! Вошел слуга, весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал, спьяну, ходить во всем желтом, до самой смерти - так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит. - Знаешь что, Петр? Я спал сейчас или нет - как ты думаешь? Спал?

- В том вагоне - да, спал. - А в этом - нет? - А в этом - нет. - Чудно мне это, Петр... Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое... А то, знаешь, опять мне делается тревожно... Значит, Петр, если тебе верить: я в том вагоне спал, а в этом проснулся.

.. А то, знаешь, опять мне делается тревожно... Значит, Петр, если тебе верить: я в том вагоне спал, а в этом проснулся. Так?

- Не знаю. Я сам спал - в этом вагоне. - Да зачем мне тебя было будить! В этом вагоне тебя незачем было будить, если ты в этом и сам проснулся?..

- Ты не путай меня, Петр, не путай... Дай подумать. Видишь ли, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль.

- Какая же это мысль? - А вот какая: выпить у меня чего-нибудь осталось?..

Омутище - Леоново.

- Нет, нет, ты не подумай, это не сама мысль, это просто средства, чтоб ее разрешить. Ты понимаешь - когда хмель уходит от сердца, являются страхи и шаткость сознания. Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан... Не очень заметно, что я расщеплен?

- Совсем ничего не заметно. Только рожа опухла. - Ну, это ничего. Рожа - это ничего... - И выпить тоже нет ничего, - подсказал Петр, встал и зажег канделябры.

Я встрепенулся: "Хорошо, что ты зажег, хорошо, а то - знаешь? - немножко тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас."

- А где же твоя княгиня, Петр? - Она давно уже вышла. - Куда вышла? - В Храпуново вышла.

Она из Петушков ехала в Храпуново. В Орехово-Зуеве вошла, а в Храпунове - вышла.

- Какое еще Храпуново! Что ты все мелешь, Петр?.. Ты не путай меня, не путай... Так, так... самая главная мысль... Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер, Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему - понятия не имею. Да, да ... вот, теперь яснее: Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедию, ноги всегда спускал в шампанское. Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гете, он дома у себя ходил в тапочках и шлафроке... А я - нет, я и дома без шлафрока; я и на улице - в тапочках... А Шиллер-то тут причем? Да, вот он при чем: когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. Опустит и пьет. Хорошо! А Чехов Антон перед смертью сказал: "Выпить хочу." И умер...

Петр все глядел на меня, стоя надо мной. Я мысли собираю, а ты - смотри. Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню: был Гегль. Он говорил : "Нет различий, кроме различия в степени, между различными степенями и отсутствием различия." То есть, если перевести это на хороший язык: "Кто же сейчас не пьет?".. Есть у нас что-нибудь выпть, Петр?

- Нет ничего. Все выпито. - И во всем поезде нет никого? - Никого. - Так... Я опять задумался. И странная эта была дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это "что-то" тоже было странно. И душа - тяжелая была душа...

Что я делал в это мгновение - засыпал или просыпался? Я не знаю, и откуда мне знать? "Есть бытие, но именем каким его назвать? - ни сон оно, ни бденье." Я продремал так минут 12 или минут 35.

А когда очнулся - в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души...

Я лежал, как труп, в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался...

- Ка-мер-ди-нер! В дверях появился Петр, с синюшным и злым лицом. "Подойди сюда, Петр, подойди, ты тоже весь мокрый - почему? Это ты сейчас хлопал дверьми, да?"

- Я ничем не хлопал. Я спал. - Кто же тогда хлопал? Петр глядел на меня, не моргая. - Ну, это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить, а чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить?

- Нет ничего. Все выпито. - И во всем мире никого-никого? - Никого. - Врешь, Петр, ты все мне врешь!!! Если никого, то кто же там гудит дверьми и окнами? А? Ты знаешь?.. Слышишь?.. У тебя и выпить, наверное есть, а ты мне все врешь?..

Петр, все так же, не моргая и со злобою, глядел на меня. Я видел по морде его, что я его раскусил, что я понял его и что он теперь боится меня.

Да, да, он повалился на канделябр и погасил его собою - и так пошел по вагону, гася огни. "Ему стыдно, стыдно!" - подумал я. Но он уже выпрыгнул в окошко.

- Возвратись, Петр! - я так закричал, что не сумел узнать своего голоса, - возвратись!

- Проходимец! - отвечал тот из-за окошка. И вдруг - впорхнул опять в вагон, подлетел ко мне, рванул меня за волосы, сначала вперед, потом назад, потом опять вперед, и все это с самой отчаянной злобою...

- Что с тобой, Петр? Что с тобой?!.. - Ничего! Оставайся! Оставайся тут, бабуленька! Оставайся, старая стерва! Поезжай в Москву! Продавай свои семечки! А я не могу больше, не могу-у-у-у-у-у!..

И снова выпорхнул, теперь уже навечно. "Черт знает, что такое! Что с ними со всеми?" Я стиснул виски, вздрогнул и забился. Вместе со мною вздрогнули и забились вагоны. Они, оказывается, давно уже бились и дрожали...

Леоново - Петушки.

...Двери вагонов защелкали, потом загудели, все громче и явственнее. И вот - влетел в мой вагон, и пролетел вдоль вагона, с поголубевшим от страха лицом, тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Эриний и устремились следом за ним. Гремели бубны и кимвалы...

Волосы мои встали дыбом. Не помня себя, я вскочил, затопал ногами. "Остановитесь, девушки! Богини мщения, остановитесь! В мире нет виноватых!.." А они все бежали.

И когда последняя со мной поравнялась, я закипел, я ухватил ее сзади, а она задыхалась от бега.

- Куда вы? Куда вы все бежите?.. - Чего тебе?! Отвяжи-и-и-ись! Пусти-и-и-и!.. - Куда? И все мы едем - куда??.. - Да тебе-то что за дело, бешена-а-ай!.. И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб - до того неожиданно, что я засмущался, присел и стал грызть подсолнух.

А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась - и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней, преступно выгибая шею...

Пламенел закат, и лошади вздрагивали, и где то счастье, о котором пишут в газетах? Я бежал и бежал, сквозь вихорь и мрак, срывая двери с петель, я знал, что поезд "Москва - Петушки" летит под откос. Вздымались вагоны - и снова проваливались, как одержимые одурью... И тогда я заметался и крикнул:

- О-о-о-о-о! Посто-о-ойте!.. А-а-а-а-а!.. Крикнул и оторопел: хор Эриний бежал обратно, со стороны головного вагона прямо на меня, паническим стадом. За ним следом гнался разъяренный Евтюшкин. Вся эта лавина опрокинула меня и погребла под собой...

А кимвалы продолжали бряцать, и бубны гремели. И звезды падали на крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.

Петушки. Перрон.

А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, и соглашусь - да, как будто туман. А если вы скажете - нет, то не туман, то пламень и лед - попеременно то лед, то пламень - я вам на это скажу: пожалуй что и да, лед и пламень, то есть сначала стынет кровь, стынет, а как застынет, тут же начинает кипеть и, вскипев, застывает снова.

"Это лихорадка, - подумал я. - Этот жаркий туман повсюду - от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман." А из тумана выходит кто-то очень знакомый, Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый. О! теперь узнал: это понтийский царь Митридат. Весь в соплях измазан, а в руках - ножик...

- Митридат, это ты, что ли? - мне было так тяжело, что говорил я почти беззвучно. - Это ты, что ли, Митридат?..

- Я, - ответил понтийский царь Митридат. - А измазан весь почему? - А у меня всегда так. Как полнолуние - так сопли текут... - А в другие дни не текут? - Бывает, что и текут. Но уж не так, как в полнолуние. - И ты что же, совсем их не утираешь? - я перешел почти на шепот. - Не утираешь?

- Да как сказать? случается, что и утираю, только ведь разве в полнолуние их утрешь? не столько утрешь, сколько размажешь.

Ведь у каждого свой вкус - один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать. А я в полнолуние...

Я прервал его: - Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках?..

- Как зачем?.. да резать тебя - вот зачем!.. Спросил тоже: зачем?.. Резать, конечно... И как он переменился сразу! все говорил мирно, а тут ощерился, почернел - и куда только сопли девались? - и еще захохотал, сверх всего! Потом опять ощерился, потом опять захохотал!

Озноб забил меня снова: "Что ты, Митридат, что ты!" - шептал я или кричал, не знаю, - "Убери нож, убери, зачем...?" А он уже ничего не слышал и замахивался, в него словно тысяча почерневших бесов вселилась... "Изувер!" И тут мне пронзило левый бок, и я тихонько застонал, потому что не было во мне силы даже рукою защититься от ножика... "Перестань, Митридат, перестань..."

Но тут мне пронзило правый бок, потом опять левый, потом опять правый, - я успевал только бессильно взвизгивать, - и забился от боли по всему перрону. Я проснулся весь в судорогах. Вокруг - ничего, кроме ветра, тьмы и собачьего холода. "Что со мной и где я? почему это дождь моросит? Боже..."

И опять уснул. И опять началось все то же, и озноб, и жар, и лихорадка, а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и приблизившись ко мне вплотную, ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка - серпом по ...цам. Я закричал - наверно, вслух закричал - и снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все во мне содрогалось - и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и

впредь такой, как сегодняшняя, - я удавлюсь в один из четвергов!.. Таких ли судорог я ждал от тебя, Петушки? пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин?.. Царица Небесная, я в Петушках!..

"Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказал Спаситель, то есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен, всеми членами и всею душой, и на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил, и никто никогда не встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй... А чемоданчик твой, Боже, где твой чемоданчик с гостинцами?.. два стакана орехов для мальчика, конфеты "Василек" и пустая посуда... где чемоданчик? кто и зачем его украл - ведь там же были гостинцы!.. А посмотри, есть ли деньги, может есть хоть немножко!.. Да, да, немножко есть, совсем чуть-чуть; но что они теперь - деньги?.. О, эфемерность. О, тщета! О, гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа - время от закрытия магазинов до рассвета!..

"Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказала твоя Царица, когда ты лежал во гробе, - то есть встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два, а дальше будет легче. Что ни дальше - легче. Ты же сам говорил больному мальчику: "Раз-два-туфли-одень-ка-как-ти-бе-не стыд-на-спать..." Самое главное - уйти от рельсов, здесь вечно ходят поезда, из Москвы в Петушки, из Петушков на Москву. Уход от рельсов. Сейчас ты все узнаешь, и почему нигде ни души, узнаешь и почему она не встретила, и все узнаешь... Иди, Веничка, иди..."

Петушки. Вокзальная площадь.

"Если хочешь идти налево, Веничка, - иди налево. Если хочешь направо - иди направо. Все равно тебе куда идти. Так что уж лучше иди вперед, куда глаза глядят..."

Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто: что для этого надо сорок раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вздохнуть, и выдохнуть столько же, из глубины сердца, - и тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать?..

О, погоди, погоди!.. Может, время сначала узнать?? Узнать, сколько времени?.. Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть решительно ни единой?.. Да если б и встретилась живая душа - смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода.

Да если б и встретилась живая душа - смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода... О, немота!..

И если я когда-нибудь умру - а я очень скоро умру, я знаю - умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри, постигнув, но не приняв, - умру и Он меня спросит: "Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?" - я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже? Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я - что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, - я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует... " Почему же ты молчишь?" - спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну, что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...

Может, все-таки разомкнуть уста? - найти живую душу и спросить, сколько времени?..

Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу - а теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон, с ресницами, опущенными ниц; божество от тебя отвернулось, - так зачем тебе узнавать время? "Не женщина, а бланманже", как ты в шутку ее называл, - на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины - не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Веничка?..

Что тебе осталось? утром - стон, вечером - плач, ночью - скрежет зубовный... И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому?.. Вот, войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси: "Какое вам дело до моего сердца?" Боже мой...

Я повернул за угол и постучался в первую же дверь.

Петушки. Садовое кольцо.

Постучался - и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят... "Странно высокие дома

понастроили в Петушках!.. Впрочем, это всегда так, с тяжелого и многодневного похмелья: люди кажутся безобразно сердитыми, улицы - непомерно широкими, дома - страшно большими... Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда ты был пьян... Помнишь лемму этого черноусого?"

Я еще раз постучался, чуть громче прежнего: "Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на три минуты погреться? Я этого не понимаю... Они, серьезные, этого не понимают, а я, легковесный, никогда не пойму... Мене, текел, фарес - то есть ты взвешен на весах и найден легковесным, то есть "текел"... Ну и пусть, пусть...

Но есть ли там весы или нет - все равно - на тех весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал - и знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату, и если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я редко на вас обращал внимание, но мне есть дело до вас: меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает мерцать, а это самое главное. Потому что все остальные катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают, а если даже и сияют, то не стоят и двух плевков.

Есть там весы, нет там весов - там мы, легковесные, перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите. Верю, знаю и свидетельствую миру. Но почему же так странно расширили улицы в Петушках?.."

Я отошел от дверей, и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд.

И пока вползала в меня одна такая тяжелая мысль, которую страшно вымолвить, вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно, - я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо рассмотреть не мог: от холода или отчего еще мне глаза устилали слезы...

"Не плачь, Ерофеев, не плачь... Ну зачем? И почему ты так дрожишь? от холода или еще отчего?.. не надо...

Если б у меня было хоть двадцать глотков кубанской! Они подошли бы к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в Петушках! Но кубанской не было: я свернул в переулок, и снова задрожал и заплакал...

И тут - началась история, страшнее всех, виденных во сне. В этом самом переулке навстречу мне шли четверо. Я сразу их узнал, я не буду вам объяснять, кто эти четверо... Я задрожал сильнее прежнего, я весь превратился в сплошную судорогу...

А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? Да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот, с налетом чего-то классического, но в глазах у всех четверых - вы знаете? вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале? помните, как там, на громадной глубине, под круглыми отверстиями, плещется и сверкает эта жижа карего цвета? - вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был похож... впрочем, я потом скажу, на кого он был похож.

- Ну, вот ты и попался, - сказал один. - Как то есть... попался? - голос мой страшно дрожал, от похмелья и от озноба. Они решили, что от страха.

- А вот так и попался! Больше никуда не поедешь. - А почему?.. - А потому. - Слушайте... - голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе, то есть я имею в виду: холодной ночью. И апостол предал Христа, покуда третий петух не пропел. Вернее, не так: и апостол предал Христа трижды, пока не пропел петух. Я знаю, почему он предал, - потому что дрожал от холода, да. Он еще грелся у костра, вместе с этими. А у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. И если б испытывали теперь меня, я предал бы его до семижды семидесяти раз, и больше бы предал...

- Слушайте, - говорил я им, как умел, - вы меня пустите... что я вам?.. я просто не доехал до девушки... ехал и не доехал... я просто проспал, у меня украли чемоданчик, пока я спал... там пустяки и были, а все-таки жалко... "Василек"...

- Какой еще василек? - со злобою спросил один. - Да конфеты, конфеты "Василек"... и орехов двести грамм, я младенцу их вез, я ему обещал за то, что он букву хорошо знает... но это чепуха... вот только дождаться рассвета, я опять поеду... правда, без денег, без гостинцев, но они и так примут, и ни слова не скажут... даже наоборот.

Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверно, думали: "Как этот подонок труслив и элементарен!" О, пусть, пусть себе думают, только бы отпустили!.. Где, в каких газетах, я видел эти рожи?..

- Я хочу опять в Петушки... - Не поедешь ты ни в какие Петушки! - Ну... пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу... - Не будет тебе никакого вокзала! - Да почему?.. - Да потому! Один размахнулся - и ударил меня по щеке, другой - кулаком в лицо, остальные двое тоже надвигались, - я ничего не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступил от них тихо, тихо, тихо, а они все четверо тихо наступали...

"Беги, Веничка, хоть куда-нибудь, все равно куда!.. Беги на Курский вокзал! Влево, или вправо, или назад - все равно туда попадешь! Беги, Веничка, беги!.."

Я схватился за голову - и побежал. Они - следом за мной...

Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому.

"А может быть, это все-таки Петушки?.. Почему на улицах нет людей? куда все вымерли?.. Если они догонят, они убьют... а кому крикнуть? ни в одном окне никакого света... и фонари горят фантастично, горят, не сморгнув."

"Очень может быть, что и Петушки... Вот этот дом, на который я сейчас бегу - это же райсобес, а за ним - тьма.

Вот этот дом, на который я сейчас бегу - это же райсобес, а за ним - тьма... Петушинский райсобес - а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших... О, нет, нет!.."

Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, перевел дух и огляделся кругом:

"Не Петушки это, нет!.. Если Он - если Он навсегда покинул землю, но видит каждого из нас, - я знаю, что в эту сторону Он ни разу и не взглянул... А если Он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде, - Он обогнул это место и прошел стороной..."

"Нет, это не Петушки! Петушки Он стороной не обходил. Он, усталый, почивал там при свете костра, и я во многих душах замечал там пепел и дым Его ночлега. Пламени не надо, был бы пепел..."

Не Петушки это, нет! Кремль сиял передо мною во всем великолепии. Я хоть и слышал уже сзади топот погони, - я успел подумать: "Я, исходивший всю Москву вдоль и поперек, трезвый и с похмелюги, - я ни разу не видел Кремля, а в поисках Кремля всегда попадал на Курский вокзал. И вот теперь увидел - когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете!.."

"Неисповедимы твои пути..." Топот все приближался, а я никак не мог набрать дыхания, чтобы бежать дальше, я только доплелся до кремлевской стены - рухнул... Я весь издрог и извелся страхом - мне было все равно...

Они приближались - по площади, по двое с двух сторон. "Что это за люди и что я сделал этим людям?" - такого вопроса у меня не было. "Все равно. И заметят они меня или не заметят - тоже все равно. Мне не нужна дрожь, мне нужен покой, вот все мои желания... Пронеси, Господь..."

Они все-таки меня заметили. Подошли и обступили, с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги - они б убили меня...

- Ты от нас? От нас хотел убежать? - прошипел один и схватил меня за волосы и, сколько в нем было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли, кровь стекала по лицу и за шиворот... Я почти упал, но удержался... Началось избиение!

- Ты ему в брюхо, в брюхо сапогом! Пусть корчится! Боже! я вырвался и побежал - вниз по площади. "Беги, Веничка, если сможешь, беги, ты убежишь, они совсем не умеют бегать!" На два мгновения я остановился у памятника - смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть - сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина - куда? в какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать? раздумывать было некогда - я побежал в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский...

Москва-Петушки. Неизвестный подъезд.

Все-таки до самого последнего мгновения, я еще рассчитывал от них спастись. Я когда вбежал в неизвестный подъезд и дополз до самой верхней площадки и снова рухнул - я все еще надеялся... "О, ничего, ничего, сердце через час утихнет, кровь отмоется, лежи, Веничка, лежи до рассвета, а там на Курский вокзал и... Не надо так дрожать, я же тебе говорил, не надо..."

Сердце билось так, что мешало вслушиваться, и все-таки я расслышал: дверь подъезда

внизу медленно приотворилась и не затворялась мгновений пять...

Весь сотрясаясь, я сказал себе: "Талифе куми, то есть, встань и приготовься к кончине... Это уже не талифе куми, я все чувствую, это лама савахфани, как сказал Спаситель... То есть: "Для чего, Господь, Ты меня оставил?" Для чего же все-таки, Господь, ты меня оставил?

Господь молчал. Ангелы небесные, они подымаются! что мне делать? что мне сейчас сделать, чтобы не умереть? ангелы!.. И ангелы - рассмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? Эти позорные твари, теперь я знаю - вам сказать, как они сейчас рассмеялись? Когда-то, очень давно, в Лобне, у вокзала, зарезало поездом человека и непостижимо зарезало: всю его нижнюю половину измололо в мелкие дребезги и расшвыряло по полотну, а верхняя половина, от пояса, осталась как бы живою, и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи.

Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять, и на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледнев и со смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему, трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг и хохотали над этой забавностью...

Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал... А этих четверых я уже увидел - они подымались с последнего этажа... А когда я их увидел, сильнее всякого страха (честное слово, сильнее) было удивление: они, все четверо, подымались босые и обувь держали в руках - для чего это надо было? чтобы не шуметь в подъезде или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? не знаю, но это было последнее, что я вспомнил. То есть вот это удивление.

Они даже не дали себе отдышаться - и с последней ступеньки бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками, я, как мог, отцеплял их руки и защищал свое горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревяной рукояткой; может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще - я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки. и как я ни защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего...

- Зачем-зачем?.. зачем-зачем-зачем?.. - бормотал я... Они вонзили свое шило в самое горло... Я не знал, что есть на свете такая боль, и скорчился от мук, густая красная буква "Ю" распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.

На кабельных работах в Шереметьево
осенью 69 года.

Максим Кононенко (Mr. Parker). Буква "Ю" как последняя вспышка русского национального сознания или Что хотел сказать Веничка[66]

"Принеси запястья, ожерелья,
Шелк и бархат, жемчуг и алмазы
Я хочу одеться королевой,
Потому что мой король вернулся!"
В. Ер. "Москва — Петушки"

В первый раз я прочитал "Москва-Петушки" в 1988 году. Трудно описать те чувства, которые посетили меня после прочтения поэмы. Полный восторг? Наверное. А какие еще чувства могли возникнуть у восемнадцатилетнего человека в период всенародного употребления портвейна? Потом были еще прочтения — и каждый раз разные ощущения. То ощущение полного понимания всего написанного, то ощущение абсолютной бесполезности жизни, то ощущение какой-то неправдоподобной эрудированности автора, то ощущение его невероятного таланта смешить. Но всегда было принятие некоей мистики происходящего в поэме, казалось, что *именно так все и должно быть.*

[66]Источник: parker.paragraph.ru/VE/

Так случилось, что мне пришлось родиться на родине Венички, в Хибинах. Тот дом, где семья Ерофеевых жила до войны не сохранился[1], но я прекрасно знаю место, где он стоял. И я вполне могу предположить, что у человека, который провел свое детство в такой глуши появилось неискоренимое желание жить по-другому. Более того, мне кажется, что Хибины — это особая среда, в которой вырастают особые люди, поэтому я возьму на себя наглость иначе, нежели принято, взглянуть на личность Венички и на его "Великую Поэму".

Вообще-то существует два основных мнения о поэме. Первое: "Москва-Петушки" — это великое произведение. Польский профессор Стравинский в предисловии к лондонскому изданию "Петушков" (на польском языке) сказал: "Книга свидетельствует о том, что это — последняя вспышка русского национального сознания перед тем, как окончательно погаснуть". Справедливости ради надо сказать, что Ерофеев отнюдь не гордился таким мнением. Или, например, радиоголос Тель-Авива говорил такую вещь сразу после того, как поэма попала на запад: "Кто бы ни скрывался под этим вычурным псевдонимом "Венедикт Ерофеев", ясно одно: писатель — еврей". Что еще сказать? Да после этого — ничего.

Второе мнение: "Москва-Петушки" — безобразная апология алкоголя, глупость, недостойная не то что прочтения, но даже и упоминания. Я думаю, что к столь радикальному неприятию можно отнести и то мнение, что "М.-П." — это "Лишенная "политического нерва" исповедь российского алкоголика"[2]. Там же мы можем прочесть про "Редкостно высокий уровень авторской, художественной искренности и правдивости". Все это, очевидно, совсем не так.

В чем же дело? Что дает повод безусловно уважаемому Михаилу Эпштейну рассуждать о мифологичности самого персонажа Венички, о странной силе притяжения его "бессмертной" поэмы? Эпштейн сравнивает Ерофеева с Василием Блаженным[3], считает, что главное в поэме — отсутствие какой бы то ни было энергии, антиэнтропия, неприемлемость подвига в любом его проявлении. Владимир Муравьев выводит целую теорию "противоиронии" в своем шутливом предисловии к самостоятельному изданию "М.-П." Ну ладно — Эпштейн, у него профессия такая, но Муравьев, ближайший друг Вени — зачем он пытается найти в поэме то, чего там, по-моему разумению, нет? Давайте построим свою теорию.

Веня Ерофеев — младший ребенок в бедной семье работника железной дороги. Надо понимать, что такое была станция Апатиты (или станция Имандра, или станция Хибины) в конце тридцатых, чтобы представить себе всю возможную бедность этой семьи. Там и сейчас-то от грусти помереть можно, не то что шестьдесят лет назад. Отца посадили, мать работать в силу разных причин не могла и жила на деньги, которые выделялись детям. Не в силах так обременять детей, она оставляет их и уезжает. И в этих условиях Веня решает поступать в МГУ. Странно? Да, странно. С самого детства он отличался невероятной памятью, граничащей с феноменом. Сестра его Нина Фролова рассказывала, что он знал наизусть отрывной календарь, что висел на стене у них в доме — все 365 дней. Еще до школы знал. Его родные развлекали гостей: "Веня, а когда будет восход солнца 16 марта?", "Веня, а что написано на обратной стороне листика за 28 августа?" Процент ошибок в его ответах был равен нулю. Никто в семье не знал, когда Веня научился читать. Просто он стал читать и все. И с самого детства в нем проснулась почти неограниченная страсть к независимости. Он, например, не хотел в школе приняться в октябрята. Вы можете себе представить, что отказываетесь приняться в октябрята? А он отказался. Когда учительница удивленно спросила его, почему он не хочет, когда все хотят — он сказал, что не желает быть как все. Так и не был ни октябренком, ни пионером, ни комсомольцем. Это в сороковые-то годы и при сидящем отце! Может, в связи с уникальной памятью, может, еще почему в нем открылась страсть к чисто энциклопедическому накоплению знаний. Ольга Седакова[4] рассказывала, что он вел дневник грибника — где, когда и сколько грибов он собрал. Он знал день появления первых медуниц и первых желтых листьев, даты прилетов и отлетов птиц. Друзья, зная его такую страсть в шутку подарили ему школьный дневник наблюдений за природой — и Веня старательно его заполнял каждый день, отмечал температуры и состояния солнца, время восхода и заката. А как вы отнесетесь к его знанию нормальных температур диких и домашних животных?

Чего он хочет? Достичь? Не думаю. Просто ему интересно. Представьте себе: шестидесятые, свобода, Вознесенские с Евтушенками — все так просто, только о руку протяни и бери. При его-то уме и знаниях! Но он не стал брать. Почему? Алкоголизм? Или просто понимал, что никому его эта эрудиция не нужна? А нужны Евтушенки с Вознесенскими. Да и что это за сюжет — едет пьяница в электричке? Но ведь написал же он "Петушки"! И поэма стала мифической, стала своеобразным эпосом эпохи, да и сам Веничка — для многих персонаж более мифический, нежели реальный.

Конечно, не вышло бы поэмы, а тем более и мифа, если бы не Веничкин алкоголизм. Правда, тогда это трудно было назвать алкоголизмом — спирт либо слабо действовал на его могучий организм, либо не действовал вообще. Но пить хотелось. Сейчас принято писать, что Ерофеева исключили из университета за непосещение воинских занятий, но Муравьев, свидетельствам которого, очевидно, стоит доверять более других, ясно сказал, что выгнали-то его за полное разгильдяйство и нежелание чего бы то ни было "сдавать". Веня был, как говорится "вундеркинд", первую сессию сдал просто на одном дыхании, а на второй его то ли скука обуяла, то ли еще что — преподаватели из последних сил выкручивались, чтобы оставить его в университете, но он не хотел. Он хотел пить и принимать поклонения многочисленных девушек, которые всегда его окружали — а как было не окружать лучшего студента, умницу, а кроме того высокого, стройного, сильного и красивого мужчину? Способность Ерофеева пить и не пьянеть была действительно удивительна — сколько раз он устраивал дуэли с самыми знаменитыми выпивохами, до которых доходили слухи о его питейном таланте, причем все эти выпивохи в конце концов валялись под столами, а Веня, чистый, как стекло, снисходительно принимал восторги окружавших его дев. В него влюблялись все поголовно, несмотря на то, что он был неспособен говорить какие бы то ни было нежные слова.

Наверно, когда-то тогда и родилась эта компания — Сорокин[5], Любчикова[6], Седакова, Авдиев[7]. Ну и, конечно, Тихонов[8] — "ученик" Вени в восприятии жизни. Даже, наверное, не тогда, а во время учебы Вени во Владимире, в педагогическом. Но все равно, время это было приблизительно одно и то же, плюс минус два-три года. Сколько Вене было тогда? 23 года? 25? Это предмет более серьезного, нежели наше, исследования. Быть может даже диссертации.

Что это была за компания? Да на самом деле, теперь таких компаний сколько угодно. Среди них модным было своеобразное шутовство, насмешливое отношение не только ко всему восточно-европейскому социалистическому быту, но и к самим себе, что безусловно делает им честь. Компания держалась на двух китах — культуроэкспериментировании и алкоголе. Пили они много, даже очень много, но особенно выделялись в этом умении Веня и его жена Валентина З.[9] Со временем то один, то другой член этой компании откалывался, бросал алкогольные упражнения и начинал спокойную взрослую жизнь. Теперь это называется "остепениться". Делал такие попытки и сам Веня, но об этом — потом, поскольку здесь кроется, на мой взгляд, самый главный ключ к пониманию поэмы.

Они безумствовали. "Москва — Петушки" вся соткана из их безумств. Но это не были модные нынче перформансы и акции, это были камерные, личные выступления, за пределы компании не вылезавшие. Они давали оперу: Борис Сорокин пел Ильича, Авдиев пел Горького, Дзержинского, Сталина и партию съезда коммунистической партии(!). Они играли в "фанечку", или в "капланчики" — все делились на плохих и хороших. Плохими были: Брежнев, Гомулка, Вера Засулич, Максимилиан Робеспьер, бодливая коза тещи, сама теща, контролер, Жан-Поль Сартр, Ильич. Хорошая всегда была одна: маленькая девочка из бедной еврейской семьи Фаня Каплан. Судя по тому, что здесь фигурируют члены Вениной семьи я имею смелость предположить, что все эти безумства исходили из него. Ерофеевские поступки того времени вообще часто не поддаются объяснению. Седакова рассказывала[10], что однажды зимой он остался у них ночевать. Веня лег последним, а ночью все проснулись от страшного холода. Разрешилось просто — Веня не потрудился закрыть дверь на балкон. Когда Седакова

спросила его, почему он это сделал, Веня сказал, что он думал — у них так принято, проветривать помещение ночью. Что это — издевательство или невиданная скромность? Вряд ли издевательство, поскольку сам Веня лежал прямо около этой самой раскрытой балконной двери. Скромность? Но сколько раз Веня приходил в гости, брал у хозяев последние деньги и отправлялся за вином. Несчастные хозяева напрасно дожидались гонца — он пропивал все деньги один. Он одновременно читал запоем огромное количество книг — а с другой мог прервать какую-нибудь захватывающую дискуссию и сказать: "Это все ерунда, а вот у меня есть идея..." Идея была всегда одна — пойти в магазин.

В то же время сложившийся алкоголик шел к своей, ни на что не похожей манере письма. Во многом его взгляд на мир (а в том, что манера письма, литературный язык напрямую проистекают из мироощущения, я твердо уверен) сформировал Владимир Муравьев, с которым они вместе полтора года проучились в МГУ[11].

Мне не хочется здесь обсуждать очевидные достоинства Вениной манеры писать, его языка. Язык этот, вне всякого сомнения прекрасен. Просто пример:

Я снова опьяненный маем,
На опьяняющем фрегате
впиваю майскую гуманность
с полупрезрительной гримасой.
Вдыхаю сладость океана,
симпатизируя Пикассо,
и нарочито нелояльно
внимаю треску делегатов.
"Моле — апофеоз жеманства", -
— Жюль Мок убийственно итожит
— Его агрессия жантильна,
как дуновение нарцисса.
А Кристиан в пандан премьеру
пленен кокетством чернокожих,
компрометируя Тореза
лишь компонентом компромисса.
О, катастрофа Будапешта
была изящным менуэтом,
она, как декольте Сильваны
сорвала русские муары.
Для нас служила оппонентом
декоративность пируэта,
для них — трагедия Суэца -
— Своеобразным писсуаром.
Я, очарованно загрезив,
постиг рентабельность агрессий
и, разуверившись в комфорте
республиканского фрегата,
неподражаемо эффектно
сымпровизировал позессив,
пленив пикантностью Жюль Мока
и деликатных депутатов.

Это пародия на Северянина, описание международной ситуации лета 1957 года — тройственная агрессия, война за Суэцкий пролив, республиканцы во Франции, венгерские события. И на такие скучные, казалось бы, темы — такое красивое стихотворение!

Веня знал, как привлечь внимание. Искусством мистификации он владел в совершенстве. Посмотрите: "Так что же, Веничка? Она.....? Ну что вам ответить? Ну, конечно, она.....! Еще бы она не.....!" Или вот: "А она сказала: "Ну как, Веничка, хорошо у меня.....? А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я сказал ей: "Ровно тридцать лет живу я на свете... но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо.....!"[12] Глупые французские издатели долго просили сказать им, что же должно быть на месте этих точек, будучи глубоко уверенными, что это — след цензурных преследований. Не было там ничего! Как и не было ничего в эпохальной главе "Серп и Молот — Карачарово". Все Венино "Уведомление автора" — чистой воды мистификация[13]. Даже то, что он никогда не видел Кремля (коль уж принято проводить прямую параллель между Венедиктом Ерофеевым и Веничкой) — ложь. Он очень любил водить своего сына на Красную Площадь, показывать ему Лобное место.

А не мистификация ли его католическое крещение и православное отпевание? Хотя здесь я рискую задеть деликатные вещи.

Он прекрасно разбирался в музыке, знал и любил Шуберта, Брукнера, Сибелиуса. Кроме того, что через всю поэму проходят самые разные музыкальные произведения (еще больше их роль, по-моему, в "Вальпургиевой ночи"), эта внутренняя музыкальность чувствуется и в словах.

Я все это говорю для того, чтобы было понятно: Венино владение словом — вещь достаточно закономерная для его ума, эрудиции и самоей обстановки его жизни. Почему многие непьющие люди на дух не принимают поэму? Да потому что они не знают, что такое — напиться до потери сознания. Они думают, что это — как солнечный удар, человек падает и не двигается. Так нет же, уважаемые приверженцы трезвости, самое страшное состоит в том, что человек, находящийся в таком состоянии продолжает активно действовать. Он ходит, разговаривает, что-то делает — но потом ничего не помнит. Сознание куда-то сдвигается, начинает работать в другой плоскости — это ужасное ощущение. И Веня удивительно точно воспроизводит это состояние начиная с главы "Воиново — Усад". Именно так — с главы "Орехово-Зуево" и до главы "Воиново — Усад" — он еще Веничка, весь этот блестящий сон про революцию — его сознание. А потом, со второй части главы "Воиново — Усад" и до самого Кремля — это уже не он, кто угодно — "от горшка два вершка", "милая странница", "товарищ старший лейтенант" — но только не Веничка. В то же время он верит в то, что он — это Веничка, и что уже подъезжает к Петушкам. Нет, не пейте так много — в жизни вряд ли могут быть более тяжелые ощущения, чем ощущение того, что ты некоторое время прожил с другим сознанием. Наверное, это состояние близко к тому, что испытывает человек, когда он умирает.

Все сказанное выше — к вопросу о том, почему же "Москва — Петушки" столь привлекательна в изобразительном плане. Ибо сказано — пиши либо о том, что ты знаешь лучше других, либо о том, чего не знает никто. Венедикт Ерофеев знал, о чем он писал.

А теперь о том, что же такое, на мой взгляд, поэма и почему я никак не могу согласиться с теми, кто считает ее Библией шестидесятых и "последней вспышкой русского национального сознания".

Во Владимире случился у него роман с секретарем комсомольской организации по имени Юлия. Юлия была прогрессивная девушка — ездила на мотоцикле, занималась стрельбой и жутко ревновала Ерофеева ко всем его многочисленным поклонницам. Существует легенда, что она даже хотела его застрелить. Так вот, в определенный момент Веня ушел от Валентины и вернулся к Юлии, которая жила в Москве и имела собственную квартиру. Это понятный, в общем-то, шаг. Рассеянный и непрактичный Веничка просто нуждался в ком-то, кто бы за ним следил, кто был бы ему чем-то вроде матери. Валентина такой женщиной не была, она мало чем отличалась от самого Вени. А вот Юлия стала для него именно таким человеком. Кроме

того, по всей видимости он любил ее той любовью, что бывает только один раз. При встречах с друзьями Веня с гордостью рассказывал, что у него теперь есть даже холодильник. Юлия воспитывала его по "методу Макаренко" — давала деньги и посылала в магазин. Ну как он мог их истратить на выпивку? Но "не вынесла душа поэта". Юлия занималась биологией, и Веня нашел у нее сосуд с чем-то по запаху сильно напоминавшим спирт. Так случилось, что это оказался вовсе не тот спирт, Веня страшно отравился и после этого Юлия поставила ультиматум — "или я или пить". Веня ушел от нее (можно только предполагать, сколь тяжелым был для него этот шаг) и после этого никто уже не смог остановить его пьянства, до самой болезни. Даже новая жена Галина, которая появилась у него году в 76, уже после написания поэмы, и тоже стала ему чем-то вроде матери — не смогла. Зачем я здесь все это рассказал и какое отношение имеет Юлия к "М.-П."? Самое прямое — буква "Ю". Буква "Ю" — это именно то, что могло спасти Ерофеева и не спасло. И то, что первой буквой младенца стала именно буква "Ю" ясно, на мой взгляд, показывает, что в это время было наиболее дорого Вене. Сын и любимая женщина — Юлия, такая другая и далекая, которая была потеряна раз и навсегда, у которой увела его более сильная — кориандровая.

"Я не знал, что есть на свете такая боль, и скрючился от муки. Густая красная буква "Ю" распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду".

Так кончается поэма. И так кончается жизнь Венички, ведь все, что было потом — лишь попытки вернуться к сознанию, яркие, но редкие и ни в какое сравнение не идущие с той вспышкой, подобной последнему кричащему письму к любимой женщине с объяснениями, сбивчивыми и бесполезными. С оправданиями.

Я думаю, что "Москва — Петушки" и были таким письмом.

март, 1996

---

1. А говорят, что там не бомбили. Бомбили, и еще как. Одно из самых ярких воспоминаний моего детства — находка в диких притундровых лесах возле Апатитов сбитого английского самолета.

2. Сергей Чупринин, предисловие к первому русскому изданию "Петушков" в журнале "Трезвость и Культура" — №12 за 1988 год.

3. М. Эпштейн, "После карнавала или Вечный Веничка", журнал "Золотой Век", №4 за 1993 год.

4. "Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессою..." — глава "Черное — Купавна". Полоумная поэтесса — это и есть Ольга Седакова, предмет пылкой любви Вениного друга Бориса Сорокина.

5. Борис, дорогие мои, Борис Сорокин, не Владимир, как вы могли бы неосторожно подумать. "Один только премьер Боря С. при слове "пророки" вздрогнул..." — глава "Воиново — Усад".

6. "...пришли Вадя с Лидой,..." — глава "Черное — Купавна". Лидия Любчикова в то время была женой Вадима Тихонова.

7. Самим Игорем Авдиевым ("Авдюшкой") утверждается, что он — это министр обороны из поэмы. "Через два часа он испустил дух на руках у министра обороны" — глава "Воиново — Усад". Я не нашел в тексте никаких ассоциаций именно с Игорем Авдиевым, но зато собственными глазами видел Венин автограф в журнале "Трезвость и Культура" с первой публикацией поэмы в России. Журнал принадлежал Авдиеву, а в автографе говорилось, что он (Авдиев) — действительно министр обороны из главы "Воиново — Усад". Авдиев был, по

всей видимости, первым, кто ознакомился с поэмой когда она еще не была завершена. Он стащил ее у Вени из-под подушки во время их (совместно с Тихоновым и Сорокиным) визита в Орехово-Зуево (?), где Ерофеев бригадирствовал на прокладке кабеля. (Помните: "...эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года..." , глава "Новогиреево — Реутово"? Реальный, между прочим, персонаж.) Веня, обнаружив пропажу страшно перепугался — он всегда все терял — вещи, паспорт, и решил, что потерял рукопись (зеленого цвета была тетрадка). Настолько перепугался, что примчался из Орехово-Зуева в Москву, к Тихонову, где и был успокоен. Интересно объясняется в воспоминаниях Авдиева повод, по которому был совершен этот исторический визит к Вене. Тот пропал из поля зрения друзей на две недели, хотя и появлялся обычно раз в неделю на Пятницкой у Тихонова. "Владимир Ильич Ленин на Пятницкую к Розалии Самойловне Землячке приезжал хоть раз в неделю, а Веня к Тихонову две недели не приезжал", — с обидой сказал Авдиев, и они поехали. Еще один интересный момент. Веня в своей автобиографии написал, что поэма написана в период с 19 января по 6 марта 1970 года. В конце же поэмы написано: "На кабельных работах Шереметьево — Лобня. Осень 69 года." Место (Орехово-Зуево) сходится, а вот время... В своих воспоминаниях о том, как он стащил у Вени тетрадку (журнал "Театр", номер 9 за 1991 год) Игорь Авдиев упоминает, что они пили "вспоминая день гибели сельской библиотекарши Елизаветы Ивановны Чайкиной". Немцы убили некрасивую Лизу Чайкину 22 ноября, следовательно более правильной является дата в конце поэмы — осень 1969 года. Это важный момент! Он показывает не забывчивость Вени (вспомните, что я говорил о его памяти), а его неуемную страсть к мистификациям — во всем, в любой казалось бы мелочи. Я прошу прощения у читателя за столь пространную сноску, но это — лишний камень в фундамент понимания истоков поэмы, личности автора, понимания этой необычной для своего времени компании и их образа жизни.

8. "Вадиму Тихонову, моему первенцу, посвящает автор эти трагические листы" — эпиграф к поэме. Тихонов является одним из основных действующих лиц поэмы — вспомните революцию в Петушинском районе. "Первенец" так и остался единственным. Тихонов вообще был неординарной личностью, чего стоит хотя бы его гипертрофированная наглость, за которую терпеть его не могла сестра Вени Нина Фролова, да и не только она.

9. Как я уже говорил, Веня был до болезни очень красив (рост — метр восемьдесят восемь, густые русые волосы, огромные голубые глаза) и недостатка в поклонницах не знал. Но студентка Владимирского педагогического Валя была то ли более настойчива, то ли просто пленила Веню своей красотой (а она была действительно красива), а может, своим неженским умением пить? После окончания учебы она уехала работать к себе домой, в деревню Мышлино Петушинского района. Веня поехал с ней. Знаете, что это за место — Мышлино? Ведь именно туда едет Веничка в своей поэме! Не в Петушки, к сомнительной девице (ну что эта блядь с бельмами красавцу Веничке?), а в Мышлино, где в черной избе с тещей и тощей козой тещи ждал его пухлый младенец — сын. Его и Вали сын, хотя Валя к поэме никакого отношения не имеет.

10. "Театр", номер 9 за 1991 год.

11. Кстати, именно Муравьеву Веня принес законченную поэму. Он дал ему тетрадку и небрежно буркнул что-то вроде: "Я вот тут написал кой-чего, хочешь — посмотри, я пока покурю". Муравьев посмотрел и отказался отдать тетрадку назад, "пока ЭТО не будет перепечатано". Той же ночью текст поэмы был перепечатан (с большим количеством ошибок, о чем Муравьев впоследствии часто сожалел) и вскоре стал всемирно знаменит. Рукопись, та самая зеленая тетрадка и поныне хранится у Муравьева — Веня отдавал ему свои записи на хранение, потому что сам боялся их потерять.

12. Первая цитата — глава "Кучино — Железнодорожная", вторая — глава "Железнодорожная — Черное".

13. Одной из самых волнующих мистификаций является упоминание в Ерофеевской автобиографии о созданном 1972 году труде "Дмитрий Шостакович". Легенда гласит, что Веня с Тихоновым повесили авоську с рукописью в телефонной будке, сами зашли за угол распить, а когда вернулись — рукопись исчезла. Многие с тех пор предпринимали попытки разыскать произведение, не допуская даже и мысли о том, что его никогда не существовало. А ведь это именно так.

Соня Стебловская. Веничка и Христос[67]

Великая поэма Венедикта Ерофеева в своё время стала одной из самых заметных сенсаций. Официальная критика, да и многие не слишком глубоко читающие люди сразу и с размаху окрестили писателя "певцом водки", как будто это было самой главной темой, затронутой в произведении. Теперь же, спустя годы, когда взгляд на литературу, как и на многие другие вещи, стал менее политически и идеологически взнузданным, можно легко и беспрепятственно рассуждать, в том числе и на выбранную тему.

Венедикт Ерофеев был верующим человеком, и как сказал его друг и духовный отец Вадим Тихонов, Библию он читал не только в последние годы, когда это стало модно и можно, а на протяжении всей своей нелёгкой жизни. По словам исследователя его творчества и автора самого детального комментария к его произведению (комментария, который, между прочим, в три раза превышает объём самого предмета исследования и в котором комментируется буквально каждая строка) Эдуарда Власова, из Библии "он вытянул всё, что только можно было вытянуть".

***

Именно эта тема является самой главной во всём произведении. Именно страданиям и крестному пути Венички и посвящена поэма. Веня — травестийный Христос, Страдающий Христос советской эпохи. На протяжении всего произведения проходит образ Венички-Христа, причём противопоставление и сопоставление происходит одновременно и параллельно.

Веня — Христос советского времени, принявший на себя все несчастья и грехи своего времени и своего народа, так же неоценённый и зверски убитый не понявшими его современниками. Сам образ советского Христа (это не есть кощунство) чрезвычайно сложен и по существу представляет тему отдельного полноценного исследования. Очень легко удалиться в дебри рассуждений, поэтому автор выбрал такой путь анализа, который распространяется на все темы: проследить по тексту за образом или развитием той или иной темы, рассматривая цитаты из текста произведения.

С самого начала и до самого конца (и Венички и произведения) мы видим героя тоскующим, неприкаянным и отчаянно одиноким. Он заснул в подъезде, один, прижав свой чемоданишко к груди. Его полная бездомность и неустроенность ассоциируются с одиночеством и бездомностью Христа; "...лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнёзда, а Сын

[67] : Газета "Литературная Россия" №31. 03.08.2001

Человеческий не имеет, где приклонить голову". (Ев. от Матфея 8:20; от Луки 9:58). Итак, с самого начала произведения Веничка предстаёт перед нами как безумно одинокий человек. Тоска и скорбь — его основные чувства на протяжении всего повествования. Недаром он начинает свой спиртной рацион с принятия горькой кориандровой — так сразу вводится мотив неизбывной горечи, от которой нельзя скрыться, потому что она в нём самом. Он страдает и молится, то есть повторяет действия Христа в Гефсиманском саду.

Он спускается по сорока ступеням, так как вчера заснул на ступеньке, "по счёту сороковой". Стоит ли говорить, что этот порядковый номер ассоциируется с христианской идеей Вознесения. У него постоянная "тяжесть в сердце". Число 40 можно рассмотреть и в таком контексте. 40 дней Христос постился и молился в пустыне: "Иисус возведён был Духом в пустыню... и напоследок взалкал" (Матфей 4:1; Лука 4:2). Веня находится в такой же пустыне. Для него пустыня — Москва, а "взалкал" он во вполне определённом смысле — пришло время похмеляться. Вообще, нельзя не заметить с самого начала, что многие моменты в поэме даются, на первый взгляд, в опошленном, приниженном смысле, который трудно сразу понять. Однако это проистекает отнюдь не из-за пошлости Венички (он сам потом замечает, что наделён от природы жуткой скромностью и деликатностью); а от того, что сама жизнь стада куда более пошлой. Он говорит то же, что говорил Христос, но просто переводит всё это в плоскость современных отношений и понятий, зачастую могущих показаться неуместными в контексте сплошных ссылок на Библию и Новый Завет.

Далее, ближайшим сопоставлением с Христом является вывод Венички тремя: "Все трое подхватили меня под руки и через весь зал... провели меня и вытолкнули на воздух". Эта сцена, по словам Власова, в каком-то отношении может рассматриваться как арест Христа в Гефсимаиском саду: "Тогда подошли, и возложили руки на Иисуса, и взяли его" (Мат. 26:50).

Ключевым моментом в начале произведения является разговор с Господом, главной фразой в котором является : "Господь молчал". Господь молчал после того, как разрешил Вене выпить. Все это не может не напомнить обращения Христа к Отцу Своему и сцену моления в Гефсиманском саду. Так и Веня обращается к нему.

Нетрудно заметить, что сопоставление идёт параллельно с противопоставлением. Так, например, Иисус 40 дней постился в пустыне, а Веня говорит: "...то не пью неделю подряд, то пью потом сорок дней...". Так буквально в каждом моменте, как-то связанном с Христом.

Краеугольный мотив всего произведения — пятница. Каждая пятница для Вени — маленькая смерть, своеобразный крестный путь, репетиция распятия, которое с ним непременно должно произойти в конце этого пути. Пятница — день казни Иисуса Христа в новозаветном плане и одновременно в чисто бытовом, приземлённом — конец рабочей недели. Веня, купив конфеты "Василёк", едет к своей возлюбленной и сыну, едет к своей "рыжей стервозе". Но пятница фигурирует тут не только как день его смерти, но и как день, более всех других ненавидимый Венедиктом Ерофеевым (писателем, а не литературным героем). В его раннем произведении "Записки психопата" (по его словам, "самом огромном и нелепом из всего написанного") он говорит, что именно в этот "чёртов" день умерли все его любимые люди — мать, отец, брат. Так что, тут, в своей нелюбви к пятнице совпадают и Веничка, и Венедикт: Веня — потому, что чувствует, что ему ничего хорошего ждать от этого дня не стоит, что одна

из пятниц станет рано или поздно днём его смерти, а Венедикт — за то, что этот день "увёл в могилу" всех любимых им людей. Недаром Веничка с тоской думает: "Если каждая пятница моя будет и впредь такой, — я удавлюсь в один из четвергов!.."

Веня едет к своей девушке. Город Петушки фигурирует в произведении в качестве города Иерусалима. В Апокалипсисе сказано: "...да увижу город, по которому столько томился" ("Откровение" Иоанна Богослова, 21:1). Это относится к стремлению Иисуса. Для Венечки его Иерусалим — в нескольких часах езды от Москвы, туда он стремится каждую пятницу, потому что там — его рай земной, его единственная радость в жизни, его любовь. Но об этом — позже.

Своим рассказом о том, как он "дерзал" в юности по части выпивки, он постепенно подводит нас к одному из "чудес" своих — рассказу о спиртных суррогатах, которые можно только при очень большом желании и вере в это гордо окрестить коктейлями. Сами названия бальзамов — "Ханаанский бальзам", "Иорданские струи" могут показаться каким-то издевательством, особенно если учесть, из чего они сделаны. Взятые названия могут быть расценены, на первый взгляд, как квинтэссенция пошлого использования христианской символики и имени Господнего. Тут сопоставление Христа и Вени — в том, что оба творят чудеса, делая спиртные напитки из того, что было под рукой, точнее сказать, претворяют в "вино" что-то, а противопоставление — в том, из чего они его делают. Христос делает вино из воды, которая является критерием чистоты всего, вино, веселящее душу и плоть. Веня делает "чернобурку" из омерзительных субстанций, которые две тысячи лет назад даже присниться не могли — денатурата, очищенной политуры, средства от потливости ног, зубного эликсира и даже (все виноделы отдыхают) из тормозной жидкости! Изобретательность истинного сына своего времени. Вино Христа было сотворено на свадьбе, заставляло всех смеяться и радоваться, "коктейль" хитроумного Венички — плакать и тосковать (опять этот основной мотив): "...сижу и плачу". То, что в этом эпизоде фигурирует мама писателя, тоже не случайно. Ведь именно Мария попросила Христа сделать из воды вино, то есть её появление так или иначе предшествовало его творению. Тут — наоборот: поэт сперва творит выпивку (назвать это "вином" язык не поворачивается), потом вспоминает маму, а потом и вообще забывает "как её по имени-отчеству". То есть тут, как и везде в ключевых эпизодах, проходит сопоставление и одновременное противопоставление Христа и Вени как диаметрально противоположных персонажей при всей их внешней похожести и кажущейся тождественности в рамках этого произведения.

Этот эпизод — травестийное чудо претворения Христом воды в вино. За ним следует поездка Вени в обществе, мягко говоря, несимпатичных людей, а говоря точнее, уродов и калек. Это уже перенесённая в современное Венечке окружение тайная вечеря, на которой Иисус делил с учениками плоть свою и кровь. Вся сцена "пира" в электричке с участием пассажиров, имеющих ущербную внешность, соотносится со словами Христа, обращенными к гостям одного из фарисейских начальников: "Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. И блажен будешь, что они не могут воздать тебе..." (от Луки 14:13). Этот завет Веня выполнил неукоснительно, сам того не желая. Среди его сотрапезников по пиру, а точнее говоря, собутыльников, нет физически нормальных людей. Посмотрим ближе на эту компанию. Во-первых, это дедушка "с разбухшими глазами, ...из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги."; "...рот его вечно сощурен и начинался откуда-то сзади"; "говорил он левой ноздрёй". Внучек способен испугать кого угодно: от рождения слабоумен, "совершенный кретин", "нижняя губа у него свесилась до пупа, как волосы у пианиста", а моргает он вообще "подмышками". В этой паре без труда можно

усмотреть учеников Христа, которые были братьями, то есть тоже состояли в некоторых родственных отношениях, подобно внуку и деду. Это были братья Симон и Андрей. То, что у деда постоянно слезились глаза, можно соотнести с тем, что братья были рыбаками, то есть постоянно имели дело с морем, таким же синим, как и очи деда: "Проходя же близ моря Галилейского, увидел (Христос) Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. ибо они были рыболовы" (от Марка 1:14).

Далее присоединяется "женщина сложной судьбы со шрамом и без зубов", "при усах и в коричневом берете", — травестийная Мария Магдалина, которая тоже была, мягко говоря, не овечка, а повидавшая виды женщина. Третий — до сих пор неразгаданный критиками "декабрист в коверкотовом пальто", "в коричневом берете и при усах". Вся эта компания произвела несанкционированный отъём Веничкиной бутылки во время его отсутствия и теперь странно облизывалась. Итак, то же самое противосопоставление. Сопоставление в том, что Веня всё-таки устраивает им пир, а противопоставление таково: никто из присутствующих здесь не является Веничкиным учеником или даже, на худой конец, просто знакомым; ничего из общения с Веней они не выносят, то есть не возрождаются, не начинают новую жизнь, как это произошло с Магдалиной или Симоном и Андреем; если Христос сам призвал всех своих учеников на пир, сам поделился с ними своей плотью и кровью, сам отдал им всё, что имел, то Веня серчает по поводу украденной бутылки, то есть псевдоученики сами взяли то, что хотели, и сами подсаживались по очереди к импровизированному столу, рассказывая о своей жизни.

Именно во время пира Веня произносит свою речь, которую можно соотнести с Нагорной проповедью Христа не благодаря каким-то конкретным образам или аллюзиям, а с точки зрения общего духа, пафоса, в конце концов, по той роли, какую играет эта речь к общем контексте. Но и здесь противопоставление: Веня выкладывает всю душу не огромному количеству людей, а одному-единственному Семёнычу. Образы, использованные им в этой речи, имеют непосредственное отношение к рождению Спасителя. Так, истомившийся Симеон — новозаветный старец, которому "было предсказано Духом Святым, что не умрет, доколе не увидит Христа..." (от Луки 2:26). Далее следует непосредственная цитата, никак не переосмысленная на уровне семантическом или лексическом. Потом следует образ Архангела Гавриила — предвестника скорого рождения Христа. Итак, это речь Вени, его "мини-учение", которое в определённом смысле можно назвать его Нагорной проповедью, апофеозом, после которого начинается самое страшное — начинается его Казнь.

Как и Христос перед смертью, Веня тоскует и скорбит. Он — в полном одиночестве, "тревоге, переходящей в горечь" (опять его неизлечимая и неизбывная горечь). Как и Христа, его искушает Сатана. Он спрашивает: "Тяжело тебе, Ерофеев?", прекрасно зная, что тяжело. Он предлагает ему прекратить муки, выпрыгнув из поезда, но Веня не соглашается. (Христос мог спастись, но тоже не захотел.) Он отверг его предложение, и "Сатана ушел посрамлённый".

Вообще, именно тут надо сказать о главном отличии Христа и Венечки. Спаситель страдал, молился и скорбел, тосковал и боялся. Всё это происходит и Веней. Но они находятся в диаметрально противоположных положениях. Христос знает, во имя чего его страдания, знает, что они окупятся, что делает это он ради людей, пусть и не понявших его. Он тоже безумно одинок, но у него есть ученики, которые, правда, не помогают ему и не разделяют его скорби (так, они засыпают, пока он молится). Отчаянное одиночество среди людей и единомышленников — главное, что роднит Христа и Веню. Но Веня не знает, во имя чего

мается и страдает. Муки его бесплодны, ему не дано ничем разродиться. Он — пустой. Он не создал своей веры, не сплотил вокруг себя людей, но главное — он страдает вслепую, глупо и нелепо. Его муки никогда не окупятся, его имени не произнесут с благоговением чьи-то уста. Христос идёт на смерть ради людей, со скорбью в сердце, он познал мир, людей, он прощает их, он умирает ради них. Веня мало того, что умирает бессмысленно и бесславно, он умирает в глобальном конфликте и разладе со всем человечеством и миром. Он говорит: "...я очень скоро умру... так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, — умру...". Дальше он говорит: "Я не знаю вас, люди...". Христос умирает, совершив великую жертву, приняв этот мир и простив людей, поняв их; Веня — умирает, не зная, ради чего. Это не просто констатация, это жалость к Вене. По существу, перед нами разыгралась величайшая трагедия: умный, духовно развитый, "неисследимый", глубокий человек не может или не даёт себе труда разродиться чем-то стоящим, достойным его глубин, он остаётся "пустоцветом", его "духовная мощь" и муки не выливаются во что-либо стоящее. Поэтому Христос идет на смерть скорбя, но зная, во имя чего, Веня — на ощупь. Поэтому он истинно несчастен.

Наконец, происходит то, что должно было произойти рано или поздно. Его казнят. Голгофой оказалась Москва, от которой он хотел бежать в свой "рай земной, в свой Иерусалим — Петушки. Четверо, которых он встретил, и стали его палачами. Правда, перед этим Митридат (вообще, перед смертью в поезде проносится целая вереница бреда, куда входили и Сфинкс, загадывавший пошлые загадки, и фурии, и Петр-камердинер, и Митридат) прокалывает его ножиком: "и тут меня пронзило". Тут явное соотнесение с Христом: ведь и ему тоже римский солдат пронзил левый бок (то есть прямо под сердцем) копьём, чтобы удостовериться, что тот умер, "и тотчас истекла кровь и вода". Только тут прокалывание было после распятия, а вот в случае с Веничкой — перед.

Именно в этом месте нельзя не сказать об особой последовательности расположения элементов соотнесения Христа и Вени. Хронологический порядок событий, ассоциирующихся у нас с событиями жизни Христа, не просто нарушен. Его нет вообще. В самом начале мы встречаем Веню уже тоскующим. Этот эпизод напоминает сцену в Гефсиманском саду. Затем следует претворение в вино воды; далее — тайная вечеря, а проще говоря, пир в поезде; Нагорная проповедь; тоска в поезде, несущим его навстречу смерти, то есть снова повторяющаяся молитва в саду, обрамляющая, таким образом, начало и конец одинаково скорбного пути; и распятие. То есть, мягко говоря, порядок событий не выдержан, что придаёт и дополнительно подчёркивает сумбур всей Веничкиной жизни, её бессмысленность и отсутствие в ней цели.

Как и Христос, Веня возопил, ради чего Отец его оставил. Его палачи его душат (это заставляет вспомнить, что смерть от распятия — это смерть от удушья: груз тела давит на легкие), а затем пригвождают к полу — действие, которое отсылает нас к распятию Христа: "И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его" (от Луки 23:33). По существу, пригвождение к полу есть унизительное травестийное распятие, такое же бессмысленное, какой, к сожалению, была вся жизнь Венички Ерофеева.

Василий Аксенов

Справочный материал

Василий Павлович Аксёнов родился в Казани 20 августа 1932 г. в семье видных партийных работников — председателя Казанского горсовета Павла Васильевича Аксёнова и Евгении Семеновны Гинзбург. Казалось бы, отпрыску советской элиты обеспечено беспроблемное будущее, но 1937 г. мгновенно превратил семью из хозяев жизни в изгоев — сначала мать, а затем и отец 5-летнего Васи были арестованы и получили по 10 лет лагерей, а его самого отправили в костромской детдом для детей заключенных. Через год брат отца Васи разыскал его и взял в свою семью. О том, где находятся родители, мальчику долго не говорили. Только в 1948-м вышедшая из лагеря Евгения Гинзбург забрала сына к себе в Магадан. Впечатления от колымской юности впоследствии легли в основу романа Аксёнова «Ожог».

Окончив в 1956-м 1-й Ленинградский медицинский институт, Аксёнов несколько лет проработал по специальности в Карелии, Ленинграде и Москве. В 1959-м он написал свою первую повесть — «Коллеги», которая сразу принесла 27-летнему автору большой успех и в 1962 г. была экранизирована. Начало 1960-х сделало Аксёнова едва ли не самым модным молодежным прозаиком СССР — один за другим свет увидели небольшие романы «Звездный билет» (1961), «Апельсины из Марокко» (1962), «Пора, мой друг, пора…» (1963). Наряду со смелыми экспериментами со стилем, прямыми отсылками к Ремарку и Хемингуэю они содержали обязательный набор той поры — противостояние «физиков» и «лириков», поиски смысла жизни, осуждение «стиляг», романтика дальних строек…

Постепенное выпадение Аксёнова из обоймы «разрешенных» и официально признанных литераторов началось в середине 1960-х гг. и совпало с концом хрущёвской «оттепели». 5 марта 1966 г. он вышел на Красную площадь в составе демонстрации, протестующей против реабилитации Сталина, затем подписал несколько писем в защиту диссидентов. Меняется и стилистика писателя — наряду с «правоверным» произведением «Любовь к электричеству» он создал фантастическую повесть «Затоваренная бочкотара», пародийный боевик «Джин Грин — неприкасаемый». А романы «Ожог» (1975) и «Остров Крым» (1979) Аксёнов сразу писал в расчете на западную публикацию. В 1978-м, сжигая мосты, Василий Павлович принял участие в неподцензурном альманахе «Метрополь», абсолютно «несоветском» по духу. Все участники «Метрополя» подверглись репрессиям — их исключали с работы, запрещали их книги к печати. В декабре 1979 г., узнав, что двух авторов «Метрополя», Евгения Попова и Виктора Ерофеева, исключили из Союза писателей, Аксёнов сам вышел из Союза в знак протеста. Тогда же он всерьез задумался об эмиграции. Когда Аксёнов советовался об этом с Юрием Трифоновым, тот откровенно сказал: «Когда у тебя в столе лежит такой роман, как „Ожог“, стоит уехать, чтобы опубликовать его».

22 июля 1980 г. Аксёнов эмигрировал в США. Сам он впоследствии называл свой шаг не политическим, а культурным сопротивлением. Советского гражданства он был лишен через год. Писатель сразу же был приглашен преподавать в Институте Кеннана, затем работал в Университете Джорджа Вашингтона и Университете Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, штат Вирджиния, сотрудничал с радиостанциями «Голос Америки» и «Радио Свобода». В Америке Аксёнов начал широко публиковать свои произведения, в СССР лежавшие в столе — «Золотая наша железка», «Ожог», «Остров Крым». Во второй половине 1980-х появились новые романы — «Скажи изюм», «В поисках грустного бэби», «Московская сага». В 1989-м Аксёнов написал первый англоязычный роман «Желток яйца», который затем сам перевел на русский.

Запретным писателем у себя на Родине Аксёнов побыл недолго, всего десятилетие. Уже в конце 1980-х, с началом перестройки, его начали широко печатать в СССР, в 1990-м вернули советское гражданство. Тем не менее Аксёнов остался гражданином мира — он жил с семьей во Франции, США и России попеременно.

Романы Василия Аксёнова, написанные конце XX — начале XXI в., неизменно привлекали к себе внимание читателей и критики. В 2000-х у писателя начался новый взлет, книги «Вольтерьянцы и вольтерьянки» (2004), «Москва Ква-Ква» (2006), мемуары «Зеница ока» (2005) стали бестселлерами. К сожалению, этот взлет оказался недолгим — 15 января 2008 г. Аксёнов перенес инсульт, после которого его состояние уже не улучшалось. 6 июля 2009 г. он скончался в Москве, немного не дожив до своего 77-летия. Аксёнова похоронили на Ваганьковском кладбище. Вскоре после смерти писателя свет увидели его неоконченные романы «Таинственная страсть» и «Ленд-лизовские».

Москва Ква-Ква

Часть I

Чертог чистых чувств

В начале 50-х годов XX века в Москве, словно в одночасье, выросла семерка гигантских зданий, или, как в народе их окрестили, «высоток». Примечательны они были не только размерами, но и величием архитектуры. Советские архитекторы и скульпторы, создавшие и украсившие эти строения, недвусмысленно подчеркнули свою связь с великой традицией, с творениями таких мастеров «Золотого века Афин», как Иктинус, Фидий и Калликратус.

Эта связь времен особенно заметна в том жилом великане, что раскинул свои соединенные воедино корпуса при слиянии Москвы-реки и Яузы. Именно в нем расселяются все основные герои наших сцен, именно в нем суждено им будет пройти через горнило чистых, едва ли не утопических чувств, характерных для того безмикробного времени. Возьмите центральную, то есть наиболее возвышенную, часть. Циклопический ее шпиль зиждется на колоннадах, вызывающих в культурной памяти афинский Акрополь с его незабываемым Парфеноном, с той лишь разницей, что роль могучей городской скалы здесь играет само гигантское, многоступенчатое здание, все отроги которого предназначены не для поклонения богам, а для горделивого проживания лучших граждан атеистического Союза Республик.

С точки зрения связи с античным наследием любопытно будет рассмотреть также рельефные группы, венчающие исполинские, в несколько этажей въездные арки строения. Периферийные группы изображают порыв к счастью, в то время как центральные обобщают эти порывы в апофеоз – счастье достигнуто! Мужские фигуры рельефов обнажены до пояса, демонстрируя поистине олимпийскую мощь плечевых сочленений, равно как и несокрушимую твердыню торсов. Женские же фигуры, хоть и задрапированные в подобие греческих туник, создают отчетливое впечатление внутренних богатств. Что касается детских фигур, то они подчеркивают вечный ленинизм подрастающего поколения: шортики по колено, рукавчики по локоть, летящие галстуки, призывные горны. Над всеми этими рельефными группами порывов и апофеозов реют каменные знамена. Грозди, снопы и полные чаши завершают композицию и олицетворяют благоденствие. Интересно, что динамика рельефов как бы завершается статикой полнофигурных скульптур, расположенных то там, то сям на высотных карнизах. Эти могучие изваяния с обобщенными орудиями труда вполне логично олицетворяют завершенность цели.

Позволим себе все-таки несколько слов критики и для пущей беспристрастности вложим их в уста нашей юной героини Глики Новотканной, проживающей со своими родителями в одной из самых просторных квартир этого здания-града. Всем хороши скульптурные группы нашего дома, иногда задумчиво произносит за семейным обедом Глика, однако с позиций художественного совершенства они все-таки чуть-чуть отстают от прототипов Эллады. Посмотрите, товарищи

родители, как воздушны последние и как отчасти несколько тяжеловаты первые. Задуманные, как легконогие девы-нимфы, фигуры у нас чуть-чуть слегка гипертрофически раздуты в области плодоносительного потенциала. Вдохновенные юноши, в которых хотелось бы видеть Париса, все-таки больше тяготеют к дородности Геркулеса, не так ли?

Иногда ей даже хочется чуточку высказаться по поводу общего архитектурного концепта: дескать, не кажется ли вам, любимые товарищи родители, что в общей задумке нашего непревзойденного строения, созданного великолепным скульптором, товарищем Чечулиным, должны звучать не только флейты Аттики, но и роги долины Тигра и Евфрата с ее несколько чуть-чуть как будто бы мрачноватыми шишаками и шарами? Тут она все-таки останавливает свою пытливость, чтобы не задеть чувства родителей, особенно маменьки, Ариадны Лукиановны Рюрих, доктора искусствоведческих наук, широко известной общественной деятельницы, члена правлений Комитета защиты мира, Комитета советских женщин, а самое главное, Комитета по Сталинским премиям СССР.

Ариадна Лукиановна, сама весьма отдаленная от нынешнего скульптурного воплощения женщины, все же направляет на дочь несколько чуть-чуть слегка обеспокоенный взгляд и дает себе зарок в близком будущем урезонить дочь по части греческих богов и тактично подвести ее к фундаментальной мысли о единой вдохновляющей силе Производительного Труда. Ведь не может же современная советская девушка, студентка-отличница МГУ, не понимать, как далеко мы ушли от рабовладельческого строя Древней Греции, в которой и родились эти мифы.

Впрочем, зарок этот немедленно забывался, едва лишь маменька бросала взгляд на папеньку, в широком обществе совершенно неизвестного, то есть абсолютно, по высшей схеме, засекреченного академика-физика и генерала Ксаверия Ксаверьевича Новотканного, своей уверенной и убаюкивающей статью напоминающего как раз Геракла.

Между прочим, Глика (полное имя – Гликерия) и сама вносила свой веский, хоть и юный, вклад в первостатейную семейную устойчивость. Будучи комсомольским лидером студенческого потока на журфаке МГУ да к тому же перворазрядницей по гребле на байдарках, она ничего, кроме стопроцентного одобрения, не снискала в том высотном дворце, который с Ленинских гор ежечасно посылал привет своему собрату в междуречье Москвы-реки и Яузы. Стройная и лучезарная, она отличалась удивительной способностью замыкать на себе внимание учащихся масс, то есть повышать тонус коллектива. Говоря «коллектива», мы имеем в виду всех, ну а о мальчиках уж и говорить не приходится. Все-таки скажем несколько слов. Всякое появление Глики Новотканной среди университетских потоков производило своего рода магнетическую струю, под влиянием которой все стриженные «под бокс» или «полубокс» головы поворачивались в ее сторону, да и как, судите сами, могли эти юноши остаться равнодушными к идеальному существу своего поколения?! Глика Новотканная! Иногда можно было увидеть, как она выпархивает из огромного ЗИСа-110 с ослепительными белыми кругами на великолепных шинах. Ходили неясные слухи, что ее отец принадлежит к числу сугубо засекреченных создателей сверхмощного оружия для завоевания мира во всем мире. Поговаривали также, что живет она с двумя своими родителями, то есть втроем, в восьмикомнатной квартире на восемнадцатом этаже в одном из новых высотных колоссов. Кто-то однажды добавил, что такие квартиры снабжены двумя (!) ванными и двумя (!) туалетами, но этому кому-то тут же советовали помолчать, дабы не расходились по городу дурацкие сплетни.

Так или иначе, но студенческая масса видела в Глике не только ярчайшего представителя своего поколения, но, пожалуй, даже некое существо из феерического близкого будущего, когда вся Москва будет застроена высотными чертогами победоносного Сталинизма, а жители столицы счастья будут передвигаться на личных мотоходах по подвесным виадукам, а то и пассажирскими вертолетами.

Иногда казалось, что она и сама себе представляется чем-то в этом роде, какой-то парящей Девой Социализма сродни той, что осеняла своим полетом обширный перекресток улицы Горького и площади Пушкина. В такие минуты она смиряла свой полудетский скок-перескок по ступеням МГУ, чтобы с должной торжественностью пройти, или, лучше сказать, вознестись, мимо вдумчивого изваяния девушки с книгой. Следует сказать, что некоторая шаловливость не покидала девушку даже в такие моменты. Ах, товарищи скульпторы, слегка чуть-чуть укоряла она, почему же даже «читающая девушка» в вашей интерпретации обладает чертами некоторой, хоть

и незначительной, тяжеловатости? Ведь здесь, в храме науки, вы же нам, юным, легким, посвящали свой труд, но не зрелым же нашим победоносным женщинам, не так ли?

Такими шаловливыми мыслями Глика делилась только с тремя ближайшими своими людьми, то есть со своими родителями, плюс еще с одной близкой душою… тут читатель должен крепко упрочиться в своем стуле, как бы в ожидании сдвига земной коры, ибо третьей ближайшей персоной в жизни Глики Новотканной был ее жених. Кто бы поверил на потоке, что у этой вроде бы даже не совсем реальной, высоко парящей девушки, у этого символа нашей советской девственности, уже есть суженый? Ну а если бы стало известно имя этого счастливца, то тут уж точно дрогнули бы все семь московских холмов, качнулись бы шпили всех семи высоток, воссияли бы радостными зарницами наши мирные небеса, потому что женихом Глики был не кто иной, как поэт, шестижды лауреат Сталинской премии, Герой Советского Союза, воитель всех советских войн, начиная с озера Хасан, завершая освободительной борьбой Корейской Народно-Демократической республики, Кирилл Илларионович Смельчаков.

К началу нашего повествования Кирилл подходил уже к 37-летнему рубежу, однако всякий, кто бросил бы на него первый взгляд, тут же бы подумал: вот идеал молодой мужественности! Статный и бравый, он был все еще по-юношески легок в походке, в жестах, в голосе, в мимике. Даже приглядевшись, то есть отметив некоторое серебро в висках и в ворошиловских усиках, всякий бы подумал: вот перед нами великолепные «тридцать с небольшим».

Вообще-то великое множество советских людей прекрасно было знакомо с образом этого героического поэта и только удивлялось, как этот молодой человек сумел так преуспеть в своих деяниях на протяжении стольких пятилеток во славу Родины. Многие еще помнили его суровые репортажи из траншей Гвадалахары и из гущи уличных боев в Барселоне, не говоря уже о его дерзких, под пулями шюцкоровцев, проникновениях за линию Маннергейма.

В мирные периоды очеркист Смельчаков без промедления становился своим человеком на стройках Магнитки, Днепрогэса и Каракумского оросительного канала. Вновь звучала труба классовых битв, и Кирилл за рулем одной из многосотенных армад красных танкеток прокатывался по улицам Таллина, Риги, Вильнюса, Львова, Белостока и пел, пел зарю нового века пролетарской свободы. Ну, и наконец, великое поприще Отечественной войны, сопряженное с парашютными десантами в тыл врага, с прямыми репортажами из пекла танковых ристалищ на огненной Курской дуге, с полетами на бортах челночных «летающих крепостей», с подводными эскортами полярных конвоев антигитлеровской коалиции, это поприще давало ему возможность проявить свою отчаянную смелость и писательское мастерство в создании исполненной сдержанного патриотического восторга галереи портретов сталинских полководцев и рядовых тружеников тыла и бойцов фронта, бьющих фашистского зверя в его собственной берлоге.

С той же решимостью и его привычной, едва ли не «аристократической» сдержанностью (это определение, впрочем, никогда не употреблялось на официальных страницах, что естественно в государстве рабочих и крестьян) Смельчаков примкнул после войны к блестящей плеяде сторонников мира, к Илье Эренбургу, Константину Симонову, Фредерику Жолио-Кюри, Манолису Глезосу и другим всем известным личностям, бесстрашно бросавшим вызов реакционным оборотням империализма, готовым ради сверхприбылей ввергнуть человечество в пучину атомной войны.

Это новое поприще было во многом сложнее поприщ старых. «Лейки и блокноты, а то и пулеметы», конечно, все еще шли в ход, особенно там, где патриоты бросали прямой вызов реакции – ну, предположим, на горных склонах Македонии, в рядах армии генерала Маркоса или на зенитных батареях корейской 38-й параллели, – однако не меньшее мужество требовалось, чтобы неспешными шагами выйти в центр сцены какого-нибудь зала Мютюалите и произнести несколько завораживающих слов:

- Товарищи, сидящие в этом зале,
- как Маяковский, обращаюсь я
- к вашему костяку.
- Встаньте в наш всемирный полк,
- где командиром
- Сталин,
- чтобы прибыло здравого смысла

- человеческому
- косяку!

Эта мирно-партизанская в тылу врага деятельность по причине отсутствия в ней прежнего героического резонанса, может быть, не привлекла бы к личности Кирилла Смельчакова привычного читательского внимания, если бы не сопровождалась она удивительной по своему объему и вдохновению сугубо писательской, а особенно сугубо поэтической деятельностью. Подумать только, в молодые свои годы он был уже автором пятнадцати поэтических сборников, каждый толщиной не менее двух спусковых пальцев. И в каждом из этих сборников возникали перед любителями поэзии образы героических немногословных мужчин, тружеников, или лучше сказать профессионалов войны, в каждом разворачивались драматические пейзажи, готовые ежеминутно расколоться в артиллерийских дуэлях, в поэтическом мире с его мирным закатным небом, с его тонким серпиком луны, что напоминает тебе о любимой, и где вдруг начинается воздушный бой, похожий снизу на детскую игру, откуда время от времени падают вниз отыгравшиеся, наши и немецкие профессионалы и куда вдруг с земли начинают бурно вздыматься гигантские черные клубы дыма от пораженного нефтехранилища, и стоит немалого труда еще прослеживать тоненький серпик луны; ну, в общем, в этом духе.

Вот лишь один пример его рожденной в самом пекле фронтовой лирики.

*** * ***

- Боспорский царь, проснешься ль ты
- От наших пушек?
- Восстань средь кладов золотых!
- Целы ли уши?
- Враг пер, как ошалевший зверь,
- На катакомбы,
- Мы брали Керчь,
- Спускались в смерть,
- А юнкерсы на нашу твердь
- Валили бомбы.
- Где черпал древний Митридат
- Истоки веры?
- Мы верили в свой автомат,
- В порывы штурмовых команд
- И пили за своих солдат,
- За наших рухнувших ребят
- Трофейный вермут.

Стихи такого рода поднимали дух «штурмовых команд», то есть всякого рода десантников и диверсантов, на всем гигантском пространстве действующей армии. Перед смельчаковским культом мужского солдатского братства бледнели трафареты Главполитупра. Именно из этого почтенного управления поползли шепотки о том, что «смельчаковщина» с ее чуждым духу советской военной поэзии «неокиплингианством» противоречит самому духу основной доктрины патриотизма. Стало известно, что в «Красной звезде» готовится основополагающая статья, в которой к Киплингу будет еще пристегнут контрик Гумилев с его «святой жатвой войны».

Однажды Кирилл летел в Польшу на личном самолете маршала Градова. Главком пригласил его зайти в кокпит (он обычно сидел в штурманском кресле) и с улыбкой протянул свежий номер «Звездочки». В статье, которой была отдана целая внутренняя полоса, не было ни одного термина со зловещим суффиксом «щина». Под заголовком «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались» речь там шла о том, что фронтовые стихи молодого коммуниста Смельчакова – это не что иное, как продолжение поэтического эпоса гражданской войны, а также всей традиции патриотизма в ее высшей фазе (запятая и уточнение в стиле Верховного), в фазе сражающейся вместе со всем советским народом литературы социалистического реализма. Именно этим объясняется популярность его стихов среди героев фронта и тыла.

Герой статьи испытал троякое чувство: с одной стороны, угроза идеологического избиения была развеяна, со второй стороны, было лестно узреть себя продолжателем великой традиции, с третьей же – было слегка досадно от того, что весь этот набор фраз засовывал его в привычную

обойму мастеров хорового пения, всех этих сурковых, исаковских и лебедевых-кумачей. Кому же я обязан такими суперлятивами? – спросил он главкома. Уж не вам ли, НикБор? Тот усмехнулся. Подымай выше. Выше маршалов, главкомов фронтов, в тогдашнем мироздании парило только одно существо. Градов многозначительно, но с явной ухмылкой покивал. Ну а киплингианство твое, Кирилл, вкупе с гумилевщиной мы сохраним для внутреннего пользования.

Он умолчал о том, что третьего дня на пиршестве у Микояна он преподнес вождю сборник стихов Смельчакова под титулом «Лейтенанты, вперед!». Здесь вы, Иосиф Виссарионович, найдете героев нашего времени, поколения победителей. Сталин полистал книжечку, попыхтел в трубочку, потом произнес тост: за наших лейтенантов, за поколение победителей!

Другие темы

Что касается других тем поэта, то среди них была одна, не упоминающаяся критикой, но находящаяся во «внутреннем пользовании» многомиллионных масс; имя ей – эрос, любовь. Любовная лирика Смельчакова в отличие от героических или сугубо гражданственных стихов в его сборники почти не попадала по причине «излишней чувственности», которая могла бросить тень на высокую мораль советского человека. Ну а если уж такие стихи выходили в свет, то лишь в разрозненном виде, в глубине каких-нибудь, скажем, сугубо женских журналов «Работница» или «Крестьянка», а чаще на внутренних полосах газет, порою весьма заштатных, вроде «Учительской» или «Медицинской», иной раз и в периферийных, ну, скажем, в «Уральской кузнице» или в «Крымской здравнице», и всегда вроде бы между делом, в каком-нибудь уголке: дескать, не обязательно и читать, а вникать и вообще не нужно. Между тем всякая такая публикация любимца читающей публики вызывала сущий трепет, ибо в стихах угадывались, хоть и смутно, черты его очередной пассии, романтической красавицы, звезды. Этот образ Жены, или Любимой, словно некий кинематографический миф, всегда сопровождал всесоюзного кавалера, мелькал то там, то сям даже и в самых отчаянных боевых эпизодах. Ну вот, например:

*** * ***

- Ныряет «дуглас», как дельфин,
- Ревет проклятья.
- Закрыв глаза, я вижу фильм:
- Твои объятья.
- Готовьсь! Душа, обожжена,
- В успех не верит.
- Но ты летишь со мной, жена,
- В пустые двери.
- В единоборстве с сатаной
- Кичиться – глупо!
- Но ты раскроешь надо мной
- Надежды купол.

Прочтя такой стих, скажем, в газете «Советский спорт», публика начинает гадать, кто эта Надежда: может быть, Целиковская или Любовь Орлова, а то, глядишь, может, и Дина Дурбин? Стих вырезают из газеты, перепечатывают на машинке, переписывают в альбомчики. Где-нибудь в хронике промелькнет красавец Смельчаков, и тут же по этим кадрикам расплодятся фотопортретики с текстом «Надежды», что идут нарасхват в киосках «Союзпечати» или даже на колхозных рынках. Народ жаждет знать своих героев.

Послевоенные годы были в творчестве Кирилла отмечены нарастанием любовной лирики. Поклонники, а особенно поклонницы поэта впадали даже в некоторое подобие головокружения, пытаясь угадать прототип его лирической героини. Ну, вот, например, стих из цикла «Дневник моего друга»:

- Мой друг спешил на мотоцикле…
- Река, безлюдье, парапет…
- И вдруг увидел юной цапли
- Замысловатый пируэт.

- О, юность, нежность, липок почки,
- Хор лягушачьих батарей!
- Девчонка пляшет в одиночку,
- Поет при свете фонарей.
- Он заглушил мотор стосильный
- И подошел к ней не спеша,
- Мужчина, странник в куртке стильной,
- Типаж спортсмена и спеца.
- Надюша, цапля, примадонна,
- Что приключилось в поздний час?
- Запомни номер телефона,
- Как он запомнил свет в очах.
- . . . .
- Прошло пять лет. Он в город вышел
- Купить «Дукат». И вдруг застрял:
- Ее увидел на афише
- Над кассами в концертный зал.

Поклонницам остается только гадать и судачить. Ну, конечно, под видом какого-то друга Кирилл пишет о самом себе. О своих встречах, в том числе и – ох, девочки! – о мимолетных! Но почему опять у него появляется неведомая Надежда – помните, девочки, «Надежду парашютиста»? Да, но там была Надежда как надежда, а здесь это все-ш-таки Надюша, а не надежда. И все-ш-таки, девчонки, любовь для Смельчакова – это всегда и надежда, и Надежда. Ах, если бы можно было его увидеть, поговорить по-дружески, порасспросить обо всем! Ах, Светка-Светка, небось о таком вот мотоциклисте мечтаешь? А вот и мечтаю, полжизни бы отдала такому мотоциклисту, всю жизнь! И я бы отдала, и я бы! Да как же вам не стыдно, девчонки, комсомолки, предаваться таким мечтаниям?

Насколько нам известно, к началу пятидесятых годов в жизни Кирилла Смельчакова не было Надежды. Прошло уже семь лет с той незабываемой весны 1945 года, когда он потерял свою большую любовь Надежду Вересаеву, молодую докторшу из дивизионного медсанбата. В разгромленной Германии она натолкнулась на своего мужа, которого давно считала погибшим. Оказалось, что он еще в сорок втором был отправлен в какую-то сверхсекретную экспедицию за линию фронта. Чувство Надежды Вересаевой к мужу оказалось сильнее увлечения великолепным поэтом. Кирилл страдал и так себя взвинтил, что память о ее объятиях едва ли не приобрела реальные – вот именно, девчонки, – весьма чувственные очертания.

Следует сказать, что у него еще с довоенных времен была семья и даже рос мальчик Ростислав. Жена, известная в свое время стахановка текстильного производства (белозубая и сияющая, как Марина Ладынина в кинофильме «Трактористы»), боготворила мужа, а по мере того как тот становился все более знаменит (и как все более тускнели ее зубы), стала робеть: ой, бросит он меня, ой, бросит, перерос Кирка меня, неудержимо изменился.

Так и получилось. Стахановка не могла себя узнать в образе звезды-жены-надежды; Образ этот вконец ее измочалил, да он и ему самому не давал жить. После потери старшего лейтенанта медслужбы Вересаевой ему стало казаться, что весь его мир покачнулся, что никогда уже не вернутся прежние очарования, безоглядные порывы, дерзновенность. Он зачастил в рестораны, где собирались фронтовые друзья, где вспоминали невернувшихся, где поднимались бодрящие тосты, а когда все тосты были исчерпаны, пили просто так, под заклинание «ну будем!». Иногда ему казалось, что не только он, но и все друзья пребывают в какой-то странной растерянности, как будто все они, без исключения, потеряли, как и он, своих Надежд. В застольях тех всегда возникал определенный момент, когда товарищи офицеры, хмельные, слегка злобноватые, слегка несчастные, направлялись в толпу танцоров, где немало еще было девиц, танцующих парами, «шерочка-с-машерочкой», и выбирали среди них партнершу на ночь.

Однажды утром, проснувшись рядом с какой-то звонко посапывающей особой и сразу начав смолить свой «Дукат», он подумал, что потерял не только любимую женщину, но также четырехлетний кусок жизни, наполнявший его отвагой и смыслом. Иными словами, и он, и его друзья потеряли Войну, всю эту волшебную интоксикацию, все бесконечные вызовы смерти

вместе с бесконечными, почти сумасшедшими восторгами спасения. Тогда он вспомнил эпиграф к повести Хемингуэя: «Все вы – потерянное поколение».

И вдруг все снова переменилось. Мир снова сел на свою ось с последовательной чередой закатов и восходов. Он встретил Кристину Горскую, укротительницу тигров. Судьба послала ему фантастическое существо – ошеломляющий водопад темно-золотых волос, высокие бедра, смеющийся рот, сверкающие глаза, способные держать в узде полосатую труппу. После первого свидания она сказала ему: «Смельчаков, ты оправдал ожидания, я могу выпустить тебя на арену под кличкой Тарзан!» Он хохотал и сочинял забавные стихи:

- Кристина Горская, артистка гордая,
- Шкура из норки,
- Грива волос,
- Попка – две горки,
- Но где же хвост?

Он переехал к ней, в большую захламленную квартиру. Все сложности войны и мира вдруг были забыты, жизнь приобрела сугубо цирковые, едва ли не клоунские очертания. Раз она принесла домой выводок тигрят: Акбара, Ашота, Земфиру, Шамиля, Брунгильду, еще пару неназванных, а также Штурмана Эштерхази. Звери должны с рождения увидеть во мне мать, категорически заявила человеческая тигрица.

Полосатые котята сначала ползали по полу, какали и писали на ковры, забирались в шлепанцы и сапоги, потом, обретя устойчивость, начали носиться по комнатам, нападать друг на дружку, сплетаться в клубки, а главное – с удивительной быстротой расти. У них проявился значительный интерес к кожаным предметам. В частности, их интриговала лендлизовская пилотская куртка Смельчакова. По всей вероятности, они принимали ее за бенгальского барашка, каковым она, собственно говоря, и была в прежней жизни. Однажды Кирилл взялся искать этот, едва ли не легендарный, не раз упомянутый в стихах и прозе, предмет одежды и нашел только то, что осталось от него, – железную змейку застежки с двумя-тремя зажеванными полосками кожи.

Достигнув размеров внушительного кота, тигрята иной раз стали забираться на брачное ложе и засыпать под боком разлюбезнейшей матери. Однажды во время сеанса любви поэт почувствовал за своей спиной какую-то опасность сродни той, что чувствуешь иной раз в ночном дозоре. Он повернул голову и увидел, что у них в ногах сидят трое тяжелолапых котов. Поблескивающими под светом уличного фонаря глазами они недружелюбно наблюдали его старания. «Ну что ты их боишься, милый? – промурлыкала Кристина. – Ведь это крошки». Дождавшись, когда красавица уснет, он нашел в чемодане именного «Макарова» и положил его в карман висящих на стуле штанов. Крошки явно стали ревновать свою мамочку с ее мягким тигриным ароматом к пропахшему нестерпимыми запахами одеколона и табака мужлану.

Прошло всего лишь полмесяца, когда он заметил, что некто Штурман Эштерхази уже превзошел любого из живущих с людьми котов и стал напоминать габаритами кота-камышатника. Однажды во время семейного обеда этот Штурман прыгнул на Кирилла и сорвал у него с вилки люля-кебаб. Смех Кристины напомнил Кириллу серебристую коду марша в исполнении циркового джаза. Он отшвырнул вилку. «Послушай, моя пэри, так дальше продолжаться не может! – сказал он. – Не для того я прошел всю войну, чтобы меня растерзали эти твари. Тебе придется сделать выбор: или я, или тигры». Кристина закурила длинную папиросу и погрузилась в раздумье. Стряхнув последнюю кроху пепла, встала и отошла к окну. Весь выводок собрался вокруг нее. Акбар и Штурман Эштерхази стояли на задних лапах, упершись передними в ее бедра. «Тигры!» – наконец, провозгласила она. Кирилл стал вытаскивать свои чемоданы. Она поставила на патефон пластинку «Сказки Венского леса». В дверях он обернулся. Тигрята прыгали через обруч. Она вальсировала.

- Прощальный вальс,
- Конец страстей тигриных,
- В глазах у вас
- Одни хвосты и гривы, —

подумал он. Вынес чемоданы в коридор. Какие еще, к черту, гривы? Это у львов. Хотел было вернуться, но отмахнулся. Как можно отмахнуться, таща два тяжелых чемодана? А, к дьяволу! Вывалился из дома и ахнул от счастья: как свеж этот мир за пределами зверинца!

Пока ехал на своем «Хорьхе» через Москву, думал, куда теперь деваться. Ведь не возвращаться же к героине труда: не пустит же, разыграет же бурную драму, кинется же в партком Союза писателей. Вдруг припомнилась «гарсоньерка» на Кузнецком мосту, которой обзавелся еще во время войны для прилетов из действующей армии, для поэтических уединений, а также и для мечтаний о звезде-надежде. Туда и отправился. Ключ, как засунут был под коврик, так там и лежал, словно не было никаких страстей тигриных.

Что ж, снова пришла пора одиночества, ну что ж, вот ведь и Иннокентий Анненский писал о «прекрасных плодах» таких состояний. Наберу книг, табаку, бульонных кубиков, буду читать и писать, ездить отсюда на Ленгоры, ходить там часами, выборматывать строчки, теплым взором старого солдата провожать стайки юных студенточек. «Когда-то дрались на Судетах, – вспоминал он, —

- Врага громили в пух и прах,
- И вдруг московская студентка
- К нему пришла в ночных мечтах».

Однажды после многочасовой прогулки он остановился на балюстраде, с которой открывался вид на бескрайнюю столицу. Закатное солнце отсвечивало в иных многоэтажных домах. Извивающаяся внизу река отражала многоцветную палитру неба. Стоял ранний октябрь. Слева от поэта сквозь облетевшую уже рощу просвечивала заброшенная и заколоченная церковь Живоначальной Троицы. Глубочайшее волнение посетило его, как будто он на миг приблизился к своему тщательно забытому дворянскому происхождению.

- В ночном просторе над Европой
- Шли тучи, словно сонм овец,
- В мечтах, приправленных сиропом,
- Он шел с подругой под венец.

Чертовы рифмы, подумал Кирилл. Вечное хулиганство! Мечты, приправленные сиропом! А ведь виновата Европа, черт бы ее побрал!

Тут справа долетел до него знакомый мужской голос: «Мать моя, советская авиация, да ведь это не кто иной, как Кирка Смельчаков!» Он повернулся и увидел на пустынной площадке рядом со своим «Хорьхом» огромный правительственный ЗИС с антенной радиотелефона. Мощная длань с золотыми нашивками, высунувшись из заднего окна, делала ему приглашающие жесты. Подойдя ближе, он узнал кирпичного цвета физиономию маршала авиации Ивана Гагачеладзе.

Кирилл хорошо знал Ивана. Тот командовал во время войны авиационным крылом Резервного фронта да и сам многократно поднимался в воздух на «аэрокобре» и вступал в бои с «мессершмитами». Ходили также слухи, что он участвовал в сверхсекретных разработках чудо-самолета, поднимавшегося на невероятную высоту и обеспечивавшего поверх всех фронтов прямую связь Москвы с Лондоном. В конце концов, уже после войны, он и сам достиг фантастической высоты, став к пятидесяти годам маршалом авиации. Веселый нрав, доставшийся ему в наследство от грузинских предков, выгодно отличал его от слегка несколько чуть-чуть сумрачного советского генералитета. На пирушках в трехнакатных блиндажах лучшего нельзя было найти тамады и собутыльника. Нередко он обращался к Кириллу с просьбой почитать его «киплингианские стихи» и слушал их всякий раз с каким-то особым выражением лица, изобличавшим в нем истинного ценителя словесной отрады.

Подбежал капитан, открыл дверь, маршал бодро вытряхнулся из лимузина и заключил поэта в объятия.

«Слушай, Кирка, я, кажется, прервал процесс сочинительства?»

«Слушай, Гага, ради встречи с тобой я готов отряхнуть весь словесный блуд!»

«Слушай, Кирка, я наконец женился!»

«Слушай, Гага, я так рад за тебя! Кто она?»

«Вот она, посмотри и упадешь в обморок!»

Он показал на стоящую в отдалении, спиной к ним, у края балюстрады женскую фигурку в светлом плаще. «Эсперанца! – позвал он. – Иди, познакомься со Смельчаковым!» Женщина повернулась и стала медленно приближаться. Лицо ее было опущено и потому скрыто упавшими темными локонами. Казалось, она созерцает свой пуп. Что с ней, подумалось Кириллу. Маршал авиации тут же ответил: «Заядлая фотографиня, не расстается с цейсовской зеркалкой».

Она шла, направив камеру на Кирилла, и щелкала кадр за кадром. И только в двух метрах от него подняла лицо и откинула волосы. И он тут же понял, что начинается новый крутой вираж.
Эсперанца была испанкой, точнее, каталонкой. В десятилетнем возрасте, то есть в 1937 году, вместе с сотнями других детей ее вывезли на пароходе «Красная Абхазия» из горящей Барселоны. Родители ее, члены ЦК Социалистической партии, так и пропали в тех вихрях огня и дыма, именно в тех вихрях девочке и запомнились, а в других обстоятельствах более не встречались. Однажды в Ивановский международный дом сирот приехала Пассионария. Эсперанца, или, как ее в том доме называли, Надюша, бросилась к великой революционерке. Тетя Долорес, не встречались ли вам мои родители в каких-либо других, кроме дыма и огня, обстоятельствах? Несмотря на имя Долорес никогда не плакала, вместо слезоизлияний у нее сгущался пигмент. Так и тогда, узнав отродье друзей, она только сжала костлявыми пальцами ее плечики и потемнела лицом, не уронив ни капли.
В 1947 году на празднестве в честь 30-й годовщины Октября Эсперанца, которой уже минуло двадцать лет, вдруг увидела еще одного друга своих родителей, великолепного генерала авиации. Пробравшись через толпу студентов, она позвала его по имени, под которым он был известен среди интербригадовцев в Испании: «Себастиано!» В отличие от Пассионарии Себастиано, то есть Иван Гагачеладзе, не смог сдержать слез при этой встрече. Он, кажется, что-то знал о судьбе ее родителей, во всяком случае, о каких-то еще других обстоятельствах, кроме барселонского огня и дыма, однако не стал огорчать девушку. Вместо этого он перевез ее из жалкого студенческого общежития в просторную квартиру его родителей, где она и прожила под чуткой опекой добродетельных людей несколько лет, пока не вышла замуж за своего Гагу, уже маршала авиации.
Всю эту историю маршал поведал фронтовому другу за ужином в загородном доме, похожем отчасти на небольшой дворец. Бесшумно скользили подтянутые ординарцы. В глубине зала американская радиола бесшумно меняла пластинки камерной музыки. При звуках «Фанданго» Луиджи Боккерини маршальша посмотрела прямо в глаза Кириллу Смельчакову. Муж ее в этот момент, отойдя в угол, деликатно материл штаб ПВО Москвы. «Кто она, эта ваша Звезда-Надежда?» – спросила она. «Это вы, Эсперанца», – ответил Кирилл.
Они стали встречаться. Комнатенка Кирилла украсилась кожаным диваном и двумя туркменскими коврами. Прижавшись друг к дружке то на коврах, то на диване, они старались не упустить ни единого трепетания. В полузабытьи она бормотала что-то по-испански, и ему казалось, что вернулась его сумасшедшая засекреченная юность. Маршал авиации, проводивший бессчетные недели на Корейском полуострове, ни о чем не догадывался. «Укради меня! – требовала Эсперанца. – Докажи мне свою любовь!» В разгаре зимы, в слепую пургу, он решился.

Всего лишь вьюга

«Хорьх» как назло не завелся. Дерзновенный, он бросил вызов снежной стихии и отправился на «Цундапе» с коляской. В двух кварталах от городской квартиры Гагачеладзе он ждал Эсперанцу, постепенно превращаясь в сугроб.

- Словно бродяга с ранцем,
- Полуживой идиот,
- Жду я свою Эсперанцу;
- Придет или не придет? —

думал он и тут же начинал себя честить за дурацкую рифмовку: при чем тут ранец? С ранцем ходит солдат, а не бродяга. Почему не сказать: «с румянцем»? «Словно снегирь с румянцем…»

И наконец увидел ковыляющий сквозь метель неясный силуэт с двумя чемоданами. Даже в огромной шубе она казалась тростинкой.

Неделю они упивались друг другом, разлучаясь только «по-маленькому» или «по-большому». Вдохновение его можно было сравнить лишь с затянувшейся на всю эту неделю и все усиливающейся пургой. «Снегирь с румянцем» вырастал в огромную лирико-эпическую поэму. Вечерами она играла на виолончели. Вид ее с инструментом между ног приводил его в полный экстаз. Нигде, разумеется, не появлялись; особенно это касалось Дома писателей и Дома

офицеров. Обедали около полуночи в шоферской столовой. Там было сытно и не особенно грязно, а главное – никто их там не мог опознать.

Он восхищался каждым ее движением и каждым ее словом, а также ее манерой петь что-то по-испански в глубоком сне. Всему этому пришел конец однажды ночью, когда она вот так что-то напевала во сне с маниакально-неотразимой улыбкой, а он щелкал на «смит-короне», свесив свой все еще богатый чуб. Зазвонил телефон. Раздвинув облако рифм и метафор, он снял трубку.

«Кирилл, ты, надеюсь, еще не спишь?» – спросил глухой бронхиальный голос.

«Кто спрашивает в такой час?» – ошеломился он.

«Это Сталин», – был ответ.

«Что за дурацкие шутки?» – прошипел он, стараясь не прервать вокал Эсперанцы.

«Почему шутки? Что же, разве Сталин не может позвонить другу в тревожный час?»

У Сталина к старости стали проявляться разные чудачества, и одним из таких чудачеств была его склонность к Кириллу Смельчакову, вернее, его уверенность в том, что на эту полулегендарную личность можно полностью положиться, что он в лихую минуту отбросит все свои дела, включая и женщин, и придет на помощь народной легенде, то есть Сталину Иосифу Виссарионовичу, 1879 года рождения. Сейчас, наверное, все уже позабыли, что торжество победы над Германией было у Сталина сопряжено с вечной тревогой. Странно, но тревога эта возникла как раз в те дни, когда Сталин выдвинулся в ряды самых могущественных людей мира, а из этих рядов выдвинулся уже в самого могущественного властителя-одиночку.

Произошло это в 1945 году, когда ближайший товарищ по оружию, тоже маршал, но еще не генералиссимус, Иосип Броз Тито предложил ему включить всю Югославию в СССР на правах союзной республики. Сталину эта идея сначала пришлась по душе. Одного взгляда на глобус было достаточно, чтобы увидеть, как красиво расширился бы тогда Советский Союз, как он вышел бы прямо в сердцевину колыбели человечества, как приблизился бы он с полуострова в виде пирога к другому полуострову в виде сапога.

Тито ликовал. Друже Иосиф, писал он ему как бы запанибрата, наш союз прогремит на весь мир как пример пролетарской солидарности и всеславянского единства. Вдвоем с тобой мы поведем наши народы к новым победам. Твой Иосип.

Сталину такая фамильярность не очень-то понравилась. Что это значит: «вдвоем с тобой»? Кто в конце концов сокрушил товарища Гитлера, те, что в течение четырех лет держали гигантский фронт от моря до моря, или те, что в горах отсиживались? Разведка тем временем собирала неутешительные сведения. Тито, оказывается, планирует исторические празднества в Москве и триумфальный въезд югославского руководства в Кремль. Вот здесь-то, в крепости, и разыграется трагедия поистине шекспировских масштабов. Дождавшись ночи, гайдуки из титовской охраны вырежут и передушат все руководство Советского Союза, а утром объявят генеральным секретарем своего коренастого вождя. Таким образом заговор был раскрыт, а многонациональный и великий СССР и конфедерация южных славян вместо радостного слияния вступили в многолетний период конфронтации; теперь пусть Тито дрожит на своем острове Бриони.

Все вроде бы обошлось, однако с тех пор титовские гайдуки превратились в персонажей постоянных сталинских кошмаров. Именно тогда вождь народов и перешел на ночной образ жизни. Не надеясь на свою стражу, он прислушивался к ночным шорохам. Гайдуки, однако, появлялись в коридорах Кремля без всяких шорохов. Их зловещие рожи мелькали даже в колоннах демонстрантов как весной, так и осенью. Подрывают всесоюзную борьбу с природой, являются вместе с суховеями. Водружают издевательски огромные статуи Иосифу, а в них проглядывают черты Иосипа. А что, если Тито забросит сюда целую замаскированную колонну? Что, если начнется штурм Кремля? На кого можно положиться? На чекистов? Предадут за милую душу. Сталин страдал и даже временами стонал, пугая весь персонал. И вдруг однажды среди мучительной бессонницы, над книжечкой стихов «Лейтенанты, вперед!», подаренной ему еще главкомом Резервного Никитой Градовым, пришло озарение: есть, есть люди, готовые беззаветно сражаться за Сталина, непобедимые герои нашего времени, смельчаковцы! Статные, ясноглазые, с маленькими усиками, все, как один, как тот, вечно молодой вечный друг-поэт, полковник армии мира Кирилл Смельчаков. С тех пор, стоило только мелькнуть каким-нибудь злодейским гайдукам, как их немедленно вытесняли образы смельчаковцев. Сталин воспрял.

Кирилла стали приглашать чуть ли не на все кремлевские приемы. Стоя в толпе ближайших соратников, он нередко ловил на себе внимательный, если не пытливый, взгляд Вождя. Подержав его минуту-другую через весь зал под своим взглядом, Сталин поворачивался то к Ворошилову, то к Поскребышеву и задавал какой-нибудь вопрос, словно желал удостовериться, что это именно он, Смельчаков во плоти, присутствует на приеме. Получив удовлетворительный ответ, Сталин сдержанно улыбался. Кирилла, признаться, иногда брала оторопь: что все это значит? Однажды он не выдержал и поднял над головой бокал с киндзмараули таким жестом, каким в стихах своих поднимал оружие: «Лейтенанты, вперед! За Родину, за Сталина!» В ответном жесте Вождя проскользнуло явное «алаверды!». После этого обмена жестами Смельчаков начал с интервалами в полгода получать свои Сталинские премии; и получил их шесть.

Кто может так шутить со звонком от Сталина в тревожный час, если только не сам Сталин? «Я слушаю вас, товарищ Сталин, и готов выполнить любой приказ». Он отнес телефон в самый дальний угол «гарсоньерки» и поставил его там на подоконник.

«Кто это там у тебя подвывает, Кирилл?» – спросил Сталин.

«Это вьюга», – четко ответил Смельчаков.

«Значит, и у меня это она подвывает, – вздохнул Сталин. – Всего лишь вьюга».

«Так точно, товарищ Сталин».

«Послушай, Кирилл, мы с тобой наедине по-дружески говорим глубокой ночью. Нас никто не слышит. – Он покашлял со смешком. – Никто, кроме маршала Тито, может быть. Ну и пусть слышит, кровавая собака. Пусть знает, что я по ночам говорю со Смельчаковым, с другом. Знаешь, в таком интимном разговоре называй меня просто Иосифом».

«Как я могу вас так называть?! – искренне ужаснулся Кирилл. – Ведь вы же вождь народов».

«А ты командир моих с м е л ь ч а к о в ц е в. – В голосе Сталина промелькнули и отчаяние, и надежда. Кирилл, потрясенный, молчал. Сталин вздохнул. – Ну хорошо, зови меня Иосиф-батоно».

«Буду счастлив, Иосиф-батоно».

Возникла пауза, после которой Сталин пояснил: «Пью коньяк».

Глотки.

«У тебя есть коньяк?»

«Открываю „Арарат“, Иосиф-батоно».

«Это говно. Через полчаса тебе привезут ящик „Греми“. Ладно, пей пока это говно „Арарат“, а потом перейдешь на „Греми“.

Глотки.

«Слушай, Кирилл, а кто у тебя там поет непонятное немужским голосом?»

«Это моя жена поет во сне о любви, Иосиф-батоно. Она испанка».

Глотки. Глотки.

«Послушай, Кирилл, я знаю, чья это жена. Ты увез ее у моего земляка. Ты знаешь его не хуже меня. Он пришел ко мне в растрепанных чувствах, а ему нельзя быть в растрепанных чувствах, потому что он противостоит огромным авианосцам поджигателей войны на восточных рубежах лагеря мира. Знаешь, Кирилл, верни-ка ты Вано эту Эсперанцу».

«Но это невозможно, Иосиф-батоно!» – потрясенный, воскликнул Кирилл.

«Для коммуниста нет ничего невозможного», – суховато парировал Сталин.

«Поймите, мы не выдержим разлуки», – в отчаянии бормотал Кирилл.

Голос генералиссимуса стал еще суше: «Вы, кажется, сказали, что готовы выполнить любой мой приказ, а такие слова на ветер не бросают, товарищ Смельчаков».

Отбой. Кирил уронил голову на подоконник, стучал лбом, шептал: «Боже, боже…» Новый звонок пронзил его до пят. «Это к кому ты так обращаешься, Кирилл?» – спросил Сталин. Несчастный любовник попытался взять себя в руки и ответил с некоторой даже твердостью: «К векам, к истории и к мирозданью…» Он стоял теперь, распрямив плечи, прижав к уху страшную трубку, и весь поэтический мрак русской литературы кружил перед ним за окном вместе с космами пурги: строчки из последнего стиха Маяковского, есенинское «до свиданья, друг мой, ни руки, ни вздоха»… В снежных просветах отпечатывались и блоковские «аптека, улица, фонарь».

Голос Сталина между тем набирал директивную силу: «Перестань маяться, Кирилл, и маяковщиной меня не пугай. Ты думаешь, нам, профессиональным революционерам, неведома любовь? Мою жену, между прочим, тоже Надеждой звали!» Сраженный историческим

совпадением, Кирилл не мог уже найти никаких слов в ответ. А голос Сталина все продолжал набирать директивную силу. «От Ильича это пристрастие у нас с тобой, Смельчаков, идет, от бессмертного. Жертвенные костры революции не гаснут. Буди Эсперанцу, пусть допоет свою песню дома». Отбой.

С трудом, словно чугунный, Кирилл отвернулся от окна. Эсперанца стояла перед ним в полный рост, уже облаченная в свою драгоценную шубу. Оба ее чемодана были готовы к отъезду. «Прости меня, каро мио», – прошептала она и опустилась перед ним на колени на туркменский ковер. В последний раз он запустил свои пальцы в ее шелковистые, пронизанные электричеством пряди. В душе Кирилла пробудились давно забытые советской литературой строки: «Я изучил науку расставанья в простоволосых жалобах ночных». Когда это кончилось, всеобъемлющий голос Сталина, уже без всяких звонков, заполнил жалкую комнатенку:

«Теперь покидай Кирилла Смельчакова, Эсперанца, и ничего не бойся: никто не припомнит тебе детскую болезнь левизны в коммунизме».

Кирилл понес ее чемоданы вниз, она шла следом. В темном подъезде с увечными кариатидами «арт нуво» двигалась с фонарями военная агентура. На Кузнецком стояли под парами три больших автомобиля. Вьюга улеглась. Свежайший снег серебрился под луной.

Завязка драмы

Прошли своим чередом «тимофеевские морозы» с их ядреными солнечными днями и лунными ночами. Март стал разворачиваться к весне, когда пришибленному и прозябающему Смельчакову позвонили из Комитета по Сталинским премиям и попросили срочно подготовить к номинации сборник стихов «Дневник моего друга». В тот же день позвонили также из Управления высотными домами при МВД СССР и сказали, что по совместному ходатайству Союза писателей СССР и Управления стратегического резерва при Минобороны Моссовет выделил ему четырехкомнатную квартиру на 18-м этаже в Яузском высотном доме, с видом на Кремль. Знакомый уже с такого рода щедротами судьбы, он ждал теперь и третьего звонка, поскольку щедроты, или, осмелимся сказать, усмешки, прежде обычно являлись не по одиночке и даже не парно, но непременно в тройственном варианте. И верно: последовал и третий звонок, на этот раз из ВААПа (Всесоюзного агентства по авторским правам), которое если и имело какую-то связь с Ваалом, то лишь через двойную гласную. Кто-то оттуда, то ли согласный, то ли гласный, а может быть, и вся восхитительная аббревиатура, любезнейшим образом поинтересовался, почему Кирилл Илларионович никогда не заходит, не интересуется своим счетом, а между тем на нем накопилась весьма привлекательная сумма в 275 тысяч 819 рублей и 25 копеек. Сумма сия представляет отчисления за художественное исполнение его текстов на концертах как чтецами-декламаторами, так и эстрадными певцами, поющими песни на его стихи по всему пространству нашего необъятного государства.

Кирилл вдруг каким-то несколько зловещим образом развеселился, хватанул стакан «Греми» – благо всегда теперь этот напиток был под рукой с той памятной ночи, – хохотнул: «А вы не ошиблись, мой дорогой, с этой суммой рублей и копеек? Ведь на нее, пожалуй, можно купить полсотни новеньких „Побед“, не так ли?» В ответ послышались весьма благоприятственные рулады. «Какой вы шутник, Кирилл Илларионович, недаром все у нас в СССР вас любят. Ну зачем вам столько „Побед“, батенька мой? Начните хоть с мебели, обставьте какую-нибудь четырехкомнатную квартиру, что ли. Ну потом можно дом построить в Крыму или в Гульрипше, верно? Да и после этого еще немало у вас останется денежной массы, батенька мой. Так что можно будет как-то поспособствовать аэронавтике, согласны? Сконструировать, скажем, какой-нибудь гидроплан для ДОСААФа».

«С кем я говорю, представьтесь, пожалуйста!» – категорически предложил Кирилл.

«Меня тут многие зовут еще с военных времен Штурманом Эстерхази. Вы, как солдат, помните, конечно, те бесконечные анекдоты, – ответил, очевидно, мечтательно глядя в потолок, его внушительный собеседник. – Но вообще-то мое имя Остап Наумович, и я уже несколько лет работаю в ВААПе, у меня тут выгородка на антресолях. Так что заходите, батенька мой, деньги вас ждут. И вообще давайте поддерживать контакт, лады?»

«Представьте себе, лады!» – дерзновенно ответил Кирилл, и на этом они разъединились.

Через несколько дней он поехал обследовать свое новое жилье. Оставив машину на другом берегу Яузы, он несколько минут разглядывал гигантское здание. Вспоминал свои многочисленные путешествия по делам мира и прогресса, пытался сопоставить его с другими мировыми небоскребами. Что-то общее он нашел у высотки с нью-йоркскими доминами начала XX века или, скажем, со зданиями стиля «арт-деко» в некогда процветавшем городе Ашвил, штат Северная Каролина. Ближе всего, пожалуй, великан соседствовал с домами двадцатых годов на известной набережной реки Ханьпу в Шанхае. Так он стоял и смотрел, пока холодное созерцание внезапно не сменилось высочайшим восторгом. Нет, ни на что он не похож, этот чертог, и никаким предыдущим урбанистическим стилям он не следует! Это уникальный чертог нашего уникального и величайшего социализма! Только посмотри, какая в нем заключена могучая тяжесть, сопряженная с ощущением неумолимого полета! В нем чувствуется мощный исторический посыл! Ведь он сейчас не только подпирает восточные склоны московского небосвода, не только закрывает от моих глаз грязную Таганку, нет, он вместе с шестью своими собратьями обозначает для нас топос будущего, неоплатоновский град, населенный философами и солдатами!

В этом состоянии экзальтации, которая так хорошо сочеталась с непокрытой волнующейся под ветром шевелюрой, Кирилл зашагал через мост к центральному, увенчанному фигурами и шпилем корпусу, а вышедшее из-за облака мартовское солнце зажгло перед ним все тридцать жилых этажей.

В комендатуре знаменитому товарищу Смельчакову с превеликим почтением был вручен ключ от его квартиры. Хотели было всем коллективом сопроводить его на 18-й этаж, однако он предпочел совершить свой первый подъем в одиночестве. Коллектив с пониманием и умилением смотрел ему вслед: поэт-патриот, красавец-герой уже и внешним видом своим весьма отличался от основного состава достопочтенных жильцов-тяжеловесов, академиков, министров, генералов, тузов промышленности и культуры, а главное – безопасности.

Едва он вышел из лифта в холле 18-го этажа, как отворилась одна из дверей, сильная солнечная полоса резко пересекла все мягкое кремовое освещение холла, и вместе с этой полосой прошла к лифтам приятно очерченная женская фигура. Дверь захлопнулась, восстановилось мягкое освещение, и тогда он опознал в женской фигуре не кого иного, как свою сокурсницу по ИФЛИ Ариадну Рюрих.

«Адночка! Княжна варяжская! Да неужели это ты?!»

Женщина приятных очертаний да и совсем не отталкивающих объемов не сразу увидела его в мягком освещении холла и остановилась в недоумении: кто это произносит здесь почти уже забытые ее клички студенческой поры? Он шагнул к ней, взял ее за плечи. «Как замечательно ты вышла из этого луча, Ариадна, внучка Солнца!» Она отшатнулась на миг, опознала и припала. «Боги Эллады, о, Гелиос, о, Минос и Пасифая! – с очаровательным юмором воскликнула она. – Да неужели это ты, мой Тезей, Герой Советского Союза?! Что ты делаешь здесь, на нашем восемнадцатом этаже?»

Они не виделись, почитай, двенадцать или тринадцать лет с того вечера, когда состоялись проводы полумифического «батальона ИФЛИ», романтических добровольцев, пожелавших дать отпор агрессивным белофиннам, осмелившимся поднять руку на родину социализма. Ариадна пришла на встречу с семилетней дочкой. Он вспомнил сейчас, что у нее всегда была дочка, даже на первом курсе. Больше того, за ней всегда, в том смысле, что нередко, таскался также и постоянный муж, физик Ксавка Новотканный. Влюбчивый Кирилл, едва увидев ослепительную девушку-мать, ринулся было к ней со стихом «Нить Ариадны», но она, однако, каким-то ловким движением как бы сказала ему «не спеши» и тут же познакомила с постоянным супругом Ксавкой. Блаженные времена, романтика сражающейся Испании, хоровое исполнение «Бригантины», Павка Коган, Миша Кульчицкий, Сема Гудзенко, Володя Багрицкий, Сережа Наровчатов, полярные подвиги Водопьянова, Ляпидевского, Чкалова, Коккинаки, восторги 1937 года, мимолетные встречи, когда времени всегда не хватало, чтобы дочитать до конца все разрастающийся стих «Нить Ариадны».

Узнав, что Кирилл пришел сюда «навеки поселиться» в соседней четырехкомнатной квартире, Ариадна Лукиановна просияла да так, что едва ли не затмила ту курсовую красавицу, которая всегда так торопилась к своей маленькой дочке и постоянному мужу. Как это здорово, что ты,

такая замечательная знаменитость, будешь теперь так близко! Ну у меня еще есть минут десять, пойдем, я покажу тебе нашу квартиру. Он взял ее за руку. Ах, ты по-прежнему все торопишься? В таком случае лучше покажи мне мою квартиру. Вот ключ, открывай! Посидим на голом полу, попьем воды из-под крана. Ого, да тут все обставлено совминовской мебелью с инвентарными номерками. Адночка, Варяжка, а знаешь, я еще не дописал «Нить Ариадны». Кирка, ты как был красивой балдой, так красивой балдой и остался, о, боги Олимпа, несмотря на все твои шесть премий и на седьмую, которую мы сейчас оформляем. Чья это тень пролетела мимо всех твоих окон, какой большевик мифологии, Дедалус или Икарус?

Ну, что ж, мой Тезей, теперь пойдем к нам. И, так вот болтая, смеясь и вздыхая о прошлом, но не касаясь будущего, они пересекли холл 18-го этажа и вошли в квартиру, где и раскроется для читателя сердцевина нашей пуританской драмы.

Если четыре окна нового смельчаковского пристанища, включая и двойное окно гостиной, смотрели на запад, то все многочисленные окна семейства Новотканных были повернуты к юго-западу, и потому вся огромная квартира в этот час была залита лучами Гелиоса. И первое, что открылось перед Кириллом и что сразу же радостно ошеломило его, была удивительная девичья фигура, будто бы пронизанная этими лучами. Удлиненная и долгоногая эта фигура с правой рукой на затылке стояла спиной к вошедшим у окна, как будто поглощенная каким-то сокровенным созерцанием.

«Ну-ка, Глика, посмотри, какой у нас объявился новый сосед!» – интригующим тоном воскликнула мама.

Девушка вздрогнула, резво повернулась, на мгновение превратилась в силуэт, сделала шаг к гостю, вспыхнула, опять же на мгновение, каким-то удивительным счастьем, протянула руку, приветствуя гостя в духе журфака МГУ: «Вот это да, ну и ну, неужто сам товарищ Смельчаков собственной героической персоной?!» – и вдруг, снова на мгновение, чуть-чуть задрала подбородок в мимолетном высокомерном отчуждении.

Здесь мы должны вместе с Гликой отступить на шаг назад, чтобы пояснить читателю природу этого мимолетного отчуждения. Дело в том, что за час до этой встречи между девушкой и ее матушкой разгорелся разговор исключительной важности.

«Послушай, мать, ты не можешь мне объяснить, что такое любовь?» – вдруг ни с того ни с сего спросила Глика.

Обе тут споткнулись в разных дверях квартиры; одна от неожиданности вопроса, вторая от того, что уже нельзя забрать его обратно. Ариадна внимательно смотрела на дочь, Глика делала вид, что выискивает на полках какую-то книгу.

«Ведь мы с тобой недавно говорили на эту тему, – сказала мать. – Любовь – это благородное, вдохновляющее чувство. Она способствует созданию первичной ячейки человеческого общества».

«Что же, в этом и заключается объяснение любви? – вежливо, будто в разговоре с посторонним человеком, поинтересовалась девушка, и вдруг трахнула найденную книгу о паркет. – Я хотела у тебя спросить, как делают любовь, а ты ускакала на какой-то свой комитет. Ты даже сказала тогда, что любовь – это влечение, которое испытывают женщина и мужчина друг к другу, но ни слова не сказала о том, к чему и – главное! – как это приводит. Ускакала на свою дурацкую секцию, где все, небось, знают, КАК это делается. Весь мир знает, КАК это делается, кроме меня! – Голос ее задрожал, и будто бы для того, чтобы побороть подступившие слезы, Глика пронеслась через зал, повалила мать в кресло, а сама уселась у ее ног, обхватив эти ноги. – Давай, рассказывай о половых органах!»

Мать стала гладить ее по волосам, обцеловывать ее тройную макушку. «Ну что ты, Гликушка, что с тобой, влюбилась, что ли, моя родная? Скажи мне сначала: кто он?»

«Я не знаю, кто он, но просто изнемогаю от этих мыслей с утра до утра, – бормотала дочь и уже плакала, не скрываясь. – Я просто с ума схожу от того, что ничего не знаю!»

«Гликушенька моя, лягушенька, не плачь, моя родная, – увещевала мать. – Понимаешь, когда возникает любовь, с ней вместе приходит такая страсть, что все происходит само собой, без всяких объяснений. Так будет и у тебя».

Глика вытерла свое мокрое лицо нижней юбкой матери. «А я боюсь, что у меня никогда этого не получится, потому что… потому что все это кажется мне до отвращения противоестественным».

«Как раз наоборот, детеныш, нет ничего более естественного! – вскричала мать и тут сама как-то чуть-чуть передернулась, сообразив, что ей, столь серьезной особе, одному из оплотов советской нравственной структуры, будет как-то неестественно говорить об этом самом естественном, то есть делиться собственным опытом, даже в интимном разговоре с дочерью. Все же она начала говорить о естественности того влечения, которое испокон веков в нашем языке называется „половым“, то есть нижним, или даже низким. – Это слово, детка моя, пришло из темных веков, но в наше время высокой морали мы переносим его в высокий контекст чистой семейной жизни и высшей формы дружбы, именуемой любовью. Конечно, с точки зрения физиологии мужчина и женщина отличаются друг от друга, мужчина проникает, а женщина принимает… Ну что ты вздрагиваешь, лягушенька?.. Именно с этой целью природа так организовала наши, ну не буду говорить „половые“, наши репродуктивные органы, ну это же так естественно, а без этой функции разрушится весь коллектив». – Она замолчала, потому что не знала, что еще можно сказать. Подняла ладонями лицо дочери, заглянула ей в глаза и почувствовала страх. Что за волшебное существо мы взрастили? Она выросла не женщиной, а воплощением девственности.

Глика освободила мамины ноги и сама выпросталась из ее объятий. Зашагала по гостиной, как-то странно иногда подпрыгивая, словно через скакалку. Начала говорить громко, но не обращаясь к матери, а словно разбираясь сама с собой. Совокупление естественно для животных, но людям разве не может оно показаться странностью природы? Почему у человека мужского типа висит между ног какая-то сарделька? Разве не напугает она всякую девицу, у которой такой сардельки нет? Меня, например, от этого страха уже заранее тошнит. Почему при любви эта сарделька стремительно увеличивается? Так, что ли, мамка, она стремительно увеличивается? И укрепляется, ты говоришь? Стремитель-но укрепляется? Почему она, вернее, он, словом, то, что пишут на заборах, ну как ты сама иной раз выражаешься, я подслушала, йух, почему он так жаждет проникнуть в человека женского типа? Какого он размера, когда укрепляется, ну покажи! Фу, но этого не может быть! Как он может пройти ко мне вот сюда, такой, продраться меж моих лепесточков? Нет, я не могу себе даже представить такое зверство!

Выплеснув все это скопление восклицательных и вопросительных знаков, Глика в позе отчаяния замерла у большого окна, из которого как на ладони можно было увидеть древнюю крепость с торчащими, то есть укрепившимися, башнями.

«Ах, Глика, когда любишь, когда сама жаждешь, это вовсе не кажется зверством, преобладает нежность», – с досадой произнесла Ариадна Лукиановна.

«Ну расскажи мне теперь о себе: кого ты больше всех любила?» – потребовала девушка.

Мать посмотрела на нее исподлобья. «Как кого? Конечно, твоего отца. Чем ты так поражена? Ну, конечно, Ксаверия. Мы и сейчас с ним очень любим друг друга, ласкаем друг друга, совокупляемся. Ну что ты так вылупилась, глупышка? Мы ведь еще не старые люди, мне сорока нет. Делаем это в супружеской постели, два или три раза в неделю. И заверяю тебя, Гликерия, в этом нет никакого зверства. В литературе, ну в классической литературе, это называется „супружескими обязанностями“.

«Ты уж только, Ариадночка, не считай меня ханжой и истеричкой. Просто что-то нахлынуло на меня сегодня. – Глика снова подсела к матери, положила ей на колени свои ноги. Вдруг весело рассмеялась. – Как-то слабо представляю себе нашего папочку в роли идеального любовника! Признайся, грешница: наверное, были у тебя и другие, романтические, так сказать, эпизоды?»

Ариадна тоже рассмеялась. «В ИФЛИ ребята часто злились на Ксавку. Называли его „наш постоянный муж“. Был один такой поэт. Он все пытался прочесть мне до конца свою поэму „Нить Ариадны“. Так и не дочитал. Знаешь, я вот сейчас смотрю на тебя и думаю: вот кому тот парень должен был написать поэму „Клубок Гликерии“. Ты меня понимаешь?»

Глика вскочила. «Не понимаю и понимать не хочу! Останусь девой навсегда! Очень жаль, что в нашей стране нет социалистических монастырей. Охотно бы стала социалистической монахиней!»

Мать тоже встала. «Надеюсь, в университете ты не остришь вот таким странным образом. Я еду в Комитет защиты мира. Отца сегодня не будет, он улетел на объект. Так что, если хочешь, мы продолжим вечером нашу беседу, только на этот раз я призову на помощь классиков марксизма и дарвинизма». С этими словами она взяла шубку, открыла дверь и по солнечной дорожке вышла в холл 18-го этажа.

Вот что предшествовало встрече однокурсников и тому, что последовало за этой встречей, то есть знакомству юной девы с кумиром всех дев страны победившего социализма, вспышке счастья, а затем мимолетной гримасе высокомерного отчуждения. Затем все трое сели чай пить. Супружеская пара охраны, Фаддей и Нюра, выписанные из Арзамаса-16 для обеспечения московского быта великого ученого, быстро сервировали стол. По квартире они передвигались с полной бесшумностью, поскольку обуты были в толстенные носки вологодской вязки. Молчаливая улыбчивость этой пары вкупе с исключительной сноровкой и полнейшей бесшумностью создавали впечатление какого-то странного, чуть ли не японского театрального действа. Опытному Смельчакову показалось, что пара сия имеет отношение к несуществующему подразделению СБ-2, и впрямь: в один момент, поднося блюдо с мини-наполеончиками, Фаддей издали улыбнулся ему как своему. Да Бог с ними, кем бы они ни были, на кого еще можно смотреть, если рядом с тобой сидит сущий ангел социализма, если уж нельзя назвать ее музою Арт-Деко. Все в ней казалось Кириллу совершенством: золотистые волосы, собранные в увесистую косу, высокая шея, трогательные ключицы, робкие груди под свитерком, – мог ли он представить двенадцать лет назад такое преображение семилетней девчурки? И лишь в лице ее сквозь отменно классические черты проявлялось невинное детство. Высокомерного отчуждения и след простыл, в быстрых и как бы случайных ее взглядах он видел присутствие какой-то робкой надежды; отнюдь не той Надежды-Звезды, которой он столько времени поклонялся, а той, которая будто бы была готова поклоняться ему, то есть Надежды-Мольбы.

Он видел во время всего чаепития, что Ариадна внимательно наблюдает за своей дочерью и как бы старается оценить, какое впечатление произвел на нее новый сосед, наблюдает и за ним, автором все еще не завершенной «Нити», наблюдает за ними двумя, как будто оценивает, какие отношения могут возникнуть между ними. Затем она встает и с деланой сердитостью говорит, что из-за них опоздала на секцию, что теперь ее оттуда «турнут» и все это произойдет из-за «взбалмошной девчонки» и этого вечного поэтического балбеса Кирилла Смельчакова.

Мартовский гид

Оставшись вдвоем с Гликой, Кирилл попросил разрешения закурить. Разрешение было немедленно даровано одним движением тонкой ладони с поистине фортепьянными пальцами. Она с интересом смотрела, как он зажигает свою еще фронтовую «Зиппо», как в его кулаке начинает трепетать щедрое пламя.

«А что вы курите, Кирилл Илларионович?» – спросила она. Он удивился, что она знает его отчество.

«За время войны, знаете ли, привык к вирджинскому табаку, а потом пришлось перейти на наш пролетарский „Дукат“. К счастью, недавно появились албанские, вот видите, „Диамант“. Великолепный турецкий табак».

«Дайте попробовать», – попросила она.

«Да неужто вы курите, барышня?» – с юморком спросил он.

«Вы так вкусно это делаете, что хочется последовать».

Специалисты СБ-2, видя, что чаепитие окончено, бесшумно и мастерски убирали со стола. Албанский дымок тоже не остался незамеченным. Неизвестно откуда в некурящем доме появилась чехословацкая пепельница из толстого стекла. Глика еще одним движением кисти отослала Фаддея и Нюру. Закурила.

«Ой, как здорово! – воскликнула она. – Крепкие, пахучие, как будто прочищают дурную башку!»

С минуту они курили молча, сквозь дым улыбаясь друг другу. Потом она сказала:

«Между прочим, дядя Кирилл, у нас на журфаке прошел слух, что вы скоро выступите перед студентами».

«Для вас, мадмуазель, готов в любой момент». Он был слегка покороблен «дядей».

«Ой, как здорово! – Она по-детски всплеснула руками. – Завтра же пойду в деканат и в комитет комсомола, чтобы назначили дату. Только уж не скажу, конечно, что вы для какой-то мадмуазели придете. – Тут она потупилась и посмотрела на него исподлобья, от чего голова у него слегка закружилась. – Ведь вы же просто пошутили, Кирилл, насчет мадмуазели, правда? Ведь вы же для

встречи с коллективом придете, верно? Ваше творчество, Кирилл, у нас хорошо известно, ну и, конечно, среди некоторых мадмуазелей, которые все ваши стихи наизусть знают».

Кирилл, весьма ободренный утратой отчества, не говоря уже о «дяде», смотрел на девушку уже с нескрываемым восхищением. «Ну уж вряд ли, Глика, они все стихи знают, я столько их навалял, что и сам многое забыл».

Она вся засветилась. «Даже и я, Кирилл, с которой вы вот так незаконно покуриваете, могу прочесть и „Высадку в Керчи“, и „Надежду парашютиста“, и из „Дневника моего друга“, и даже из цикла „Снова Испания“.

«Позвольте, но „Испанию“-то вы откуда взяли? – поразился он. – Ведь ни одного стиха оттуда не было напечатано!»

Она по-детски залукавилась. «А это уж у нас такие есть мадмуазели, мы их смельчаковками зовем, которые из любой редакции ваши стихи стибрят. Ведь эти особы, Кирилл, в вас просто-напросто… ну, словом, вы их кумир».

Сказав это, то есть чуть-чуть не проговорившись, она отвернулась и даже как-то сердито, с некоторой нелепостью притопнула на себя ножкой. Ведь нельзя же сказать этому удивительному человеку, что он, быть может, главенствует среди ее героев, таких, скажем, красавцев-мужчин, как Кадочников, или Дружников, или, скажем, как тот из «Моста Ватерлоо», чьего имени никто не знает, – словом, тех героев, что сквозь сон подсаживаются на край ее кровати и исчезают, отверженные ее возмущенным естеством.

«Это правда, Кирилл, что вас часто критикуют за… за… за чувственность?» – Она уставилась на него расширившимися, совершенно детскими глазами.

Он расхохотался. «Правда, правда, дитя мое, иной раз грешу чувственностью».

«А в чем она выражается, эта ваша чувственность?» Она вроде бы смотрела в отдаленные окна, в которых, словно парусники на гонке, быстро шли мартовские тучки, и тыкала давно погасшую сигарету в пепельницу, однако время от времени бросала на него чрезвычайно серьезные взгляды.

Он пожалел, что она перестала называть его «дядей»: может быть, легче было бы разговаривать. «Как будто ты сама не знаешь, в чем она выражается», – сказал он и подумал, что так все-таки будет правильней; я ее на «ты», а она меня на «вы».

«Ах, – с досадой вздохнула она, – я ведь ничего не знаю из этой области. – В лице ее снова промелькнуло то надменное отчуждение, которое он заметил в первую минуту встречи. – И постараюсь никогда не узнать», – добавила она.

«Это как же прикажешь тебя понимать?» – спросил он. Она теперь сидела на диване, поджав под себя ноги. Эта поза напомнила ему юную немку, которую он когда-то, в сорок пятом, спас от пьяных солдат. Несколько минут она сидела молча, опустив голову и теребя свою косу, потом посмотрела ему прямо в глаза и вместо ответа задала ему ошеломляющий вопрос:

«Скажите, Кирилл, а вы могли бы стать моим женихом?»

«Опомнись, Глика, ведь я однокурсник твоей матери, я… я… старше тебя на восемнадцать лет… у меня сын двенадцати лет… Послушай, Глика, дитя мое, ты же чистая дева, а я… а я столько раз был женихом, да и вообще, как я могу посягнуть на твою чистоту, на твою идеальную красоту, я – весь прокуренный, изрядно пропитый, прошитый к тому же очередью в грудь, ну давай, подойдем к зеркалу, и ты увидишь себя рядом со мной: это же парадокс!» Он то восклицал, то бормотал, вытирал пот со лба, отмахивался от нее, но сам-то почему-то уже знал, что он будет ее женихом, что он потому и въехал в этот дом, потому и так радостно, так жарко встретился с Ариадной, что нить ее, очевидно, размоталась до конца и он теперь станет женихом ее дочери.

Он потащил ее за руку с дивана и поставил рядом с собой перед зеркалом. Получился отнюдь не парадокс. Отражалась вполне изящная пара – моложавый дядя и серьезная, скорее даже печальная племянница.

«Послушайте, Кирилл, я ведь прошу вас стать не обычным женихом, а совсем необычным таким. Что-то вроде вечного жениха вечной девы. Вот мне недавно одна умная подруга рассказывала про Александра Блока. Его Любовь была для него Небесной Невестой. Он ее боготворил без всяких этих постельных мерзостей. Почему и мы не можем стать Небесной Парой?»

«Глика, ты меня поражаешь. У Блоков ведь это связано с религией, а мы с тобой коммунисты!»

«Блок ведь тоже был коммунистом».

«Блок был символистом».

«Он написал первую революционную поэму».

«Прочти внимательно, и ты увидишь, что это поэма Апокалипсиса».

«Кирилл, я вас не возьму в женихи!»

«Нет уж, дорогая, сама напросилась в невесты, обратного хода нет!»

Они наконец-то рассмеялись. Хохотали без удержу и в хохоте даже обнялись. Вдруг хохот прервался и объятие распалось. «У вас, товарищ Смельчаков, имеется какая-то повышенная чувственность. А ведь вам предстоит стоять на страже идеальной советской девственницы». Такую выволочку сделала «невеста» «жениху».

«Тебе тоже, товарищ Новотканная, надо быть поосторожнее, – проворчал он. – Пойдем-ка лучше погуляем по весне».

Правильная интонация между женихом и невестой, кажется, была найдена. Они весело оделись, спустились с 18-го этажа, прошли через вестибюль, напоминающий своим мрачноватым величием то ли станцию метро, то ли римский храм главного божества, к тому же и оно было здесь представлено в виде подсвеченного бюста черного мрамора. Дежурный персонал проводил их внимательными, но, в общем-то, вполне благорасположенными взглядами.

День был, словно по контрасту с архитектурой, веселый, с капелью, с порывами южного ветра, под которым интенсивно таяли крупнопористые сугробы. Глика была в одной из шести маминых шубок, в котиковой, которая ей была и по фигуре и к лицу. Кирилл в своем лондонском твидовом пальто (трофей борьбы за мир) вполне соответствовал юной красавице, тем более что шевелюра находилась в постоянном подветренном шевелении. Они пошли по набережной, мимо неразберихи Зарядья, в сторону Кремля. Купола соборов горели под солнцем в странной цветовой гармонии с символами великой атеистической державы.

Глика попросила «дядю-жениха» рассказать ей побольше о Блоке. Надо сказать, что после обратного похищения Эсперанцы большую часть времени наш герой проводил за чтением разных старых поэтических изданий, которые находил в постоянных походах по букинистическим магазинам Кузнецкого и Столешникова. Он рассказал ей о том, что Блок видел в Любе Менделеевой воплощение Святой Софии. Он настоял на… ну, в общем, на платонических отношениях, не зная, какие страдания принесет им обоим эта мистическая платоника. Вместе с ними страдал и третий, их ближайший друг Андрей Белый. Втроем они читали стихи своего символистского властителя дум Владимира Соловьева:

- Не Изида Трехвенечная
- Нам спасенье принесет,
- А сияющая вечная
- Дева Радужных Ворот.

Глика повторила за ним эти строки три раза, чтобы запомнить навсегда.

Кирилл подумал, что надо запомнить, как у нее глаза засияли при виде этих Радужных Ворот. Такие моменты нельзя просто так проскакивать, иначе проскочишь всю жизнь, будто просто проехал в переполненном плацкартном от аза до ижицы. Итак: 1952-й, март, сильный южный ветер, мы идем с моей невестой по набережной Москвы-реки, приближаемся к священной для каждого коммуниста крепости Кремль, какая все-таки яркая терракота, я читаю ей стих философа-идеалиста про Деву Радужных Ворот. Она просит повторить это три раза, чтобы запомнить навсегда. Глаза ее вдруг возжигаются невероятным огнем. Всего этого не повторить. Нужно просто запомнить.

Спросить ли мне жениха, почему он говорит о страданиях, думает Глика. Чего больше у Блоков было: страдания или блаженства? Кто был этот третий, Белый? Почему мы не читаем его на курсе? Белый – это всегда не красный, так, что ли? В радуге этих ворот всегда весь спектр, не так ли? Включая белый? Белый – это быть может цвет чистоты, чистые одежды, чистые простыни, в идеале он вытесняет все, включая и саму жизнь. Может ли невеста задавать жениху такие каверзные вопросы?

«Кирилл, вам не кажется, что белый цвет – это цвет небытия? Вы вообще думаете о небытии? Я должна вам признаться, что меня иногда чуть ли не сводят с ума эти мысли. Жизнь представляется мне каким-то крошечным пузырьком посреди непостижимого небытия. Мы попадаем в этот

странный, ну пусть комфортабельный, пусть красивый, но пузырек из ниоткуда, а потом уходим из него никуда. Почему мы кричим в младенчестве, может быть, потому, что чувствуем ужас рождения? Потом мы вырастаем и забываем об этом ужасе, и тогда нас начинает посещать ужас неминуемой смерти. Скажи, жених, ты испытываешь этот ужас? Ведь ты прошел столько войн, где гибнут многие».

Он снял с ее правой руки перчатку и засунул ее (руку!) в левый карман своего пальто. Потом снял перчатку со своей левой руки и засунул ее (руку!) туда же. Левая рука обняла правую, и правая ответила ей тем же. Глубочайшая нежность пронизала всю его суть: это избалованное существо страдает в своем дивном теле, быть может, не слабее, чем узница в концлагере.

«Знаешь, Глика, девочка моя, на войне мы испытывали какую-то другую смерть, общую, смерть в борьбе. Все ходили как бы хмельные, а часто и в самом деле под банкой. Без этого там свихнешься. Как ни странно, общий ужас существования редко посещал души. А вот теперь я, как и ты, попадаю в какую-то философскую ловушку, сродни той, что Толстой однажды пережил в городе Арзамасе». При слове «Арзамас» пальцы девушки дрогнули в его кармане: ведь это было как раз то место, где папочка постоянно обретался, трудясь над своим «устройством».

Кирилл продолжал: «Особенно эта ловушка страшна для таких, как мы с тобой, носителей марксистско-ленинской материалистической философии».

«Ах, Кирилл, как ты прав! – Она выхватила свою руку из его кармана и прижала ее к его щеке. – Как это страшно! Мы знаем, что в мире нет ничего идеального, что существует только материя, да? Значит, со смертью мы просто растворяемся в материи, вот и все – да? Превращаемся просто в химические элементы – да? – и навсегда, и больше никогда, да? Но самое страшное состоит в том, что и Он умрет, а я просто не представляю себе, как без Него тут все может продолжаться!»

«Ты говоришь о Сталине?» – шепотом спросил он.

Она кивнула. На несколько минут между ними воцарилось молчание. Они уже обогнули Кремль и шли мимо Александровского сада. На Манежной в ранних сумерках детишки под отеческим наблюдением МГБ лепили снеговиков и катались на санках с обледенелых пригорков.

«Сталин не умрет, – наконец проговорил Кирилл. – То есть он умрет, как все, но в отличие от всех после смерти он станет Богом. Таким образом наша философия подвергнется кардинальным изменениям».

«Вот это да! Вот это здорово!» – в восторге закричала Глика и даже влепила в щеку своему «жениху» платонический, хоть и весьма горячий, поцелуй.

«Только молчи! – предупредил Кирилл. – До поры никому ни слова! Ты чувствуешь, подмораживает? Хватит философствовать, пойдем-ка лучше в „Националь“ и разопьем бутылку шампанского за наше столь невероятное обручение».

В «Наце» Смельчакова, конечно, знали. Без всяких дрязг им дали столик на два куверта под картиной «Чесменская битва». Из посетителей весь заядлый клубный народ раскланивался, или помахивал, или кивал издалека, и все умирали от любопытства, глядя на новую спутницу Кирилла, юную фею. Никто к этому часу еще не успел надраться, все пока что изображали безукоризненных денди, и потому никто не лез с хамскими вопросами, а тем более не подсаживался с мокрой чушкой.

Жених и невеста пили массандровское шампанское и улыбались друг другу. Глика, будто забыв о своей схиме, смотрела на Кирилла лучистым взглядом. Чего доброго, она еще влюбится в меня, думал он. Если уже не влюбилась. Отчего это женщины так быстро и бесповоротно в меня влюбляются? Ведь не из-за известности же, не из-за молодцеватости же внешнего облика. Кроме этих бесспорных данных, они еще что-то чувствуют во мне, что-то не совсем типичное для нынешних мужланов, которые лишь жаждут овладеть бабой, подчинить ее тело своему телу, излить свою похоть и отвалить в сторону. Быть может, они чувствуют мою склонность к нежности, понимают каким-то чутьем, что я хочу не только ими овладевать, но также им принадлежать, бесконечно их ласкать, взывать к какой-то их божественности, быть вместе, всегда вместе. Да, вот таков я, Герой Советского Союза Кирилл Смельчаков, и только одно непонятно: как я смог так надраться, не допив еще бутылки массандровского?

Пришли три музыканта: пианист, контрабасист и трубач. Заиграли довоенный еще фоксик.

- На далеком Севере
- Эскимосы бегали,

- Эскимосы бегали
- За моржой.

Глика вдруг захлопала в ладоши, словно дитя: какое чудо! Оказалось, что она никогда не слышала этот старый шлягер. Трубач играл, подражая Луису Армстронгу, потом отводил трубу и пел:

- Эскимос поймал моржу
- И вонзил в нее ножу,
- А потом взвалил ее на воз,
- И повез по льду.
- Ту-ру-ру-ру-ру!
- Надоело тут морже
- Так валяться на барже.
- Она лапти в руки и бегом
- Босиком по льду.
- Ту-ру-ру-ру-ру!

Глика изнемогала от восторга, барабанила лапами по столу и чуть не свалилась со стула.

Кирилл по-командирски взглянул на свои «Командирские». «Пора домой, моя фея. Чувствую, что Ариадна уже оттягивает свою нить назад». По дороге к выходу он приостановился возле столика, за которым торжественно восседал маленький человек с большой головой. «Юрий Карлович, познакомьтесь с Гликой, это моя невеста». Человечек тут же вскочил, щелкнул каблуками. «Надеюсь, Смельчаков, вы не нарушаете кодекса РСФСР?» Глика с театральной жеманностью произнесла: «Мне уже девятнадцать, сударь!» «Прошу прощенья, сударыня, как я мог не понять этого сразу?»

Уже на улице, под морозным тоненьким серпом луны, Глика спросила, кто этот человек. И вот вам новый восторг: оказалось, что автор «Трех толстяков». Позднее она нередко вспоминала этот странный вечер в кафе «Националь» как завершение своего детства. Они там съели три апельсина, и именно там невероятный Кирилл приобщил ее к миру советской богемы, околдовал ее тремя поцелуями – в щеку, в подбородок и в ключицу, открыл перед ней новые времена, пору трепетного влюбленного девичества. Именно оттуда они прибыли на свой 18-й этаж и прямо с порога объявили обеспокоенной мамочке Ариадне, что стали женихом и невестой. «Браво!» – воскликнула та, отвернулась от дочери и глубоко заглянула в глаза поэту.

Все в белом

Прошло три месяца. Началось лето, одно из тех малооблачных лет вершины социализма. Глика только что завершила экзаменационную сессию. В просторном белом платье она стояла на террасе своего этажа. Платье трепетало под порывами ветра, иногда вздымалось выше колен. Пыли тогда в городе почти не было. Осадков в виде гари тоже недоставало. Кирилл любил присаживаться на балюстраду и вставал с нее всегда без всяких темных пятен на заднице белых брюк. Не осквернялась и лопаточная область белого пиджака от прикосновения к голени каменного трудящегося Геракла. Родители в плетеных креслах за плетеным столиком поедали первый доставленный в столицу астраханский арбуз. Вынесенный на площадку радиоприемник «Мир», тяжелый, как сундук с пиастрами, исполнял концерт по заявкам; в частности, лилась лирика с острова Куба – «О, голубка моя, как тебя я люблю!» – сочиненная свободолюбивым народом, несмотря на режим диктатора Батисты.

Глика, щурясь, смотрела на сверкающую под солнцем Москву-реку, по которой в этот час медленно проходила расцвеченная сигнальными флагами кильватерная колонна канонерок Волжской военной флотилии. «Почему вокруг нас так много всего красивого?» – вдруг вопросила она. Отец и мать при этих словах переглянулись с арбузными полумесяцами в зубах. Кирилл ничего не сказал: он, кажется, не очень-то и расслышал вопрос, поглощенный созерцанием девичьей фигуры в летящей на ветру белой одежде. «Но ведь далеко не все в нашей стране живут так, как мы, не так ли?» – спросила девичья фигура. Ну и ну, подумал тут поэт. «Кто это тебе сказал?» – спросила мать, освободив рот от арбуза. «Киска фантазирует», – хохотнул Ксаверий

Ксаверьевич. Глика пожала плечами. «Иной раз в буфете я вижу ребят, считающих медяки, чтобы набрать на тарелку винегрета. Кое-кто ходит на босу ногу, тэ е без носков». Ариадна Лукиановна обернулась к Кириллу: «Что ты на это скажешь, поэт?» Тот, будто подражая невесте, тоже пожал плечами. «Идеальная республика вовсе не предусматривает равноправия».

Глика поглядела на него через плечо. «Расскажите нам про идеальную республику, мой дорогой». Обеими руками она подхватила разлетающуюся под ветром гриву и стала заворачивать ее в узел на затылке. Надо сказать, что эти девичьи взгляды через плечо или исподлобья, а также частые изменения золотого нимба стали уже основательно терзать матерого жениха. Наши отношения застыли в какой-то двусмысленной неподвижности, думал он. Что же, мне так и подвизаться в роли воспитателя капризного дитяти? Так и поклоняться ее девственности? Нужно все же предпринять какие-то шаги в сторону дальнейшего развития.

Он предпринял какие-то шаги и почти вступил в соприкосновение с ее фигурой. Даже положил ладонь на ее бедро. «Я говорю о „Республике“ Платона, моя родная». Он представил себе, какими взглядами в этот момент обменялись Ариадна Лукиановна и Ксаверий Ксаверьевич. Вдруг он почувствовал, что бедро как-то дрогнуло под его рукой, как бы даже слегка повернулось в его сторону. «Смотрите, смотрите, как они летят!» – вскричала фигура и вся вытянулась в сторону юго-западного свода московских небес с подъятой дланью. Невероятная экзальтация прозвучала в этом возгласе, словно в поле зрения появились бессмертные боги.

Из солнечных высот к сверкающей реке снижались три гидроплана. Метрах в двустах от поверхности воды они изменили курс и пошли над рекой на восток, то есть в сторону нашего жилого великана. Они, все трое, были белого цвета с синими полосами вдоль бортов, с красными звездами на крыльях и с красными серпами-молотами на хвостовых оперениях, – иными словами, они несли цвета и эмблемы Военно-морского флота СССР. Кирилл сообразил, что летающие амфибии вкупе с канонерками проводят на животворном городском потоке репетицию военно-морского парада.

Самое удивительное, однако, было впереди. Не долетев нескольких сот метров до траверза высотного здания, один из гидропланов свернул влево и полетел прямо к зрителям 18-го этажа. Да уж не собирается ли этот охотник за подводными лодками врезаться в дом? Уж не японский ли камикадзе пробрался к штурвалу? Супруги Новотканные, а также жених семьи Кирилл Смельчаков застыли в напряжении, не зная, что предпринять: броситься ли вниз, спрятаться ли за колоннами, упасть ли ничком на кафельный пол террасы? Одна лишь Глика не изведала ни секунды страха, она продолжала ликовать и размахивать над головой ослепительным летним шарфом. Между тем с каждой секундой аппарат становился все крупнее, за стеклами кокпита обозначились лица экипажа, над открытым люком возвысилась широкоплечая фигура пилота в плотно прилегающем кожаном шлеме и в закрывающих половину лица очках-консервах. Он поднял над головой сомкнутые в приветствии ладони, и только тогда смельчаки-пилоты – или отчаянные сорви-головы? – отвернули и начали облет здания.

«Это он мне! Он послал привет мне!» – вне себя от восторга прозвенела дева.

«Безобразное безрассудство!» – протрубил академик.

«Экое хамство! – возвысила голос ведущая дама. – Ксава, ты должен немедленно позвонить в штаб парада!»

Один только жених девы ничего не сказал. Фигура пилота напомнила ему кого-то и что-то из прошлого; уж не полярную ли экпедицию 1940 года, уж не поиски ли пропавшего во льдах многомоторника «Коминтерн», уж не навигатора ли Жорку Моккинакки?

Не прошло и минуты, как дерзновенный гидроплан снова появился в поле зрения обитателей 18-го этажа. Теперь он снижался, явно норовя приводниться возле набережной. «Кирилл, посмотри, они садятся! – продолжила свои слегка нарочитые восклицания Глика. – Да ведь это пилотаж высшего класса!» Жених ее тем временем возжигал свою «хемингуэевскую» трубку. «Недурно, недурно, – бормотал он. – Однако не стоит, киска, так злоупотреблять восклицательными знаками». Она с некоторым вызовом посмотрела на него и еще пуще зашлась: «Браво, браво!»

Поднимая буруны изумрудно-кристальной воды, гидроплан побежал по Москве-реке и через несколько минут остановился, слегка покачиваясь, неподалеку от гранитных ступеней.

«Похоже, что это разведывательный вариант машины КОР-1», – произнес знаток аиационной техники Ксаверий Ксаверьевич.

«А мне он напоминает трофейный „Хейнкель-59“, – прищурился Кирилл.

«Кирилл, пожалуй, прав», – со знанием дела улыбнулась Ариадна Лукиановна.

Через несколько минут внушительная фигура, на этот раз без шлема и без очков-консервов, выпросталась из самолетного люка, опустилась на массивный поплавок и, взявшись за один из лееров, перемахнула на уходящую в воду лестницу. На голове у этого человека была теперь морская фуражка, а облачен он был в габардиновый плащ с золотыми генеральскими, или адмиральскими, погонами. Уже на набережной он поднял голову, посмотрел на сверкающего всеми тридцатью этажами окон исполина архитектуры и отмахал какой-то сигнал морской азбукой. Смельчаков, хоть и не особенно искушенный в этом средстве коммуникации, готов был поклясться, что прочел что-то вроде: «Кирилл, поднимаюсь к тебе. Жорж». Глика между тем была уверена, что сигнал следует прочесть иным способом, а именно: «Вздымаюсь к тебе, моя родная!» Перегнувшись через перила террасы, жених и невеста теперь смотрели, как загадочный моряк-авиатор пересекает дорогу в направлении парадного входа в здание. Два члена экипажа несли за ним его чемоданы.

С тревожным чувством взирал Кирилл Смельчаков на шествие этого человека. Он не был уверен, что это тот самый Жорж, которого он имеет в виду, когда вспоминает спасение «Коминтерна», да и вообще – Жорж ли это? По установившейся традиции спасение многомоторника проходило тогда под неотступным вниманием правительства, прессы и общественности и, по сути дела, превращалось во всенародный праздник любви к родной партии большевиков и гордости за взращенных ею героев. Иные многоопытные полярники и авиаторы иной раз, особенно после принятия иных доз ректификата, слегка чуть-чуть несколько ворчали: дескать, где тут заложена причина для ликования? Где кроется базис для гордости? Машина не выполнила задания, затерялась во льдах, радиостанция на борту отказала, полностью вырубилась, экипаж и пассажиры, разбившись на кучки, бессмысленно кружат в окрестностях Канина Носа, ледоколы «Красин» и «Калинин» пошли слишком далеко на север, сами застряли, их надо было самих вызволять; а чем вызволять, бомбами, что ли? Ну, конечно, эта воркотня была приглушенной, вернее, почти неслышной, а на поверхности, разумеется, гремели оркестры, шли бесконечные приподнятые радиопередачи, предприятия брали на себя повышенные обязательства, пионеры шефствовали над семьями героев-полярников, фоторепортеры и журналисты засыпали редакции свежими материалами, и среди них, конечно, выделялись взволнованные репортажи смельчака Смельчакова. В частности, запомнились всем его короткие, но емкие радиодепеши с маршрута группы отборных лыжников РККА, с которой он прошел не менее двухсот километров по льдам моря Лаптевых, пока они не натолкнулись на «Коминтерн», застывший, словно ящер, извлеченный из мезозойских, или каких там еще, юрских, что ли, глубин. Оказалось, что на борту еще осталась группа людей, умудрившихся не только выжить, но и даже поддержать определенный градус оптимизма. Во главе этой группы стоял здоровенный парень, обросший густой греческой бородой, второй пилот Жора Моккинакки. Именно в его руках, вернее, в кобуре его револьвера, находился ключ от рундука, где хранился запас 96-градусного оптимизма, предназначенного для борьбы с обледенением крыльев и почти уже до конца использованного для борьбы с обледенением людей. Впрочем, об этой жидкости ни слова не было сказано в депеше собкора «Комсомолки». Там речь шла о вере в жизнь, о верности родине и идеалам социализма, о дерзновенном вызове, что бросила Ледовитому океану горстка героев, ведомых мужественным южанином Моккинакки.

О нем тогда стали писать все газеты. На всенародной встрече в Москве его засыпали цветами. Всесоюзный староста, однофамилец злополучного ледокола Калинин собственноручно приколол к его френчу орден Трудового Красного Знамени. Вот тут и возникло некоторое недоумение. Никто не сомневался, что Моккинакки будет удостоен звания Героя Советского Союза, однако вместо высшей награды ему достался орден третьего разряда. Вскоре после этого Жорж Моккинакки вообще исчез из поля зрения. Прошел слух, что его обвиняют чуть ли не во вредительстве. Якобы это именно он способствовал выводу из строя такого чуда нашего авиастроения, как многомоторник «Коминтерн». Потом и этот слух заглох.

О вчерашнем герое просто перестали говорить. Это было в духе времени. Если о ком-нибудь переставали говорить, то разговоры о нем больше не возобновлялись. Считалось просто бестактным упоминание того, о ком перестали говорить. Если кто-нибудь упоминал выпавшее из обихода имя, на бестактного болтуна просто бросали недоуменный взгляд, и тот сразу понимал, что ляпнул что-то неудобоваримое. В этом был определенный смысл героического времени. Подлинные герои не выпадают из обихода. Зачем упоминать неупоминаемое? Жизнь идет вперед семимильными шагами, чуть ли не ежедневно возникают новые блистательные имена.

Вскоре началась Великая Отечественная война. Все полярные подвиги отодвинулись в далекое прошлое. В этом проявлялся еще один удивительный парадокс героического времени. Великие события, возникающие в ходе бурной истории, такие, как гражданская война, нэп, коллективизация, борьба с троцкистско-бухаринским подпольем, немедленно по возникновении намывали колоссальный межвременной вал, и то, что за этим валом, хоть хронологически совсем еще близкое, оказывалось в каких-то неопределенных далях, смыкалось с прошлыми веками.

В течение всей войны о Жорже Моккинакки в авиационных и журналистских кругах нет-нет да возникали противоречивые слухи. А помните такого Моккинакки? Вот отколол номер! Да разве он жив? Говорят, что жив, оказался в оккупации, перешел к врагу, теперь над нами на «штуке» летает. В другой раз совершенно противоположная приходит информация. Вроде бы Моккинакки был в составе той самой эскадрильи дальнего действия, что поднялась с нашей базы на острове Сааремаа и отбомбилась над Берлином как раз за несколько дней до того, как остров был взят эсэсовским десантом. После перелома военных действий в нашу пользу где-то вблизи ставки Верховного Главнокомандующего кто-то обмолвился, что Жора Моккинакки водит как раз тот самый высотный самолет, на котором Молотов в Лондон летает. А в кругах разведки за распитием трофейного коньяку однажды зашел разговор о спецоперациях в боснийских горах, и вот тут снова всплыла на поверхность фамилия Моккинакки. Будто бы он там совместно с британцами обеспечивает ближайшую поддержку партизанам-коммунистам маршала Тито.

После войны Кирилл никогда ничего о нем не слышал, да, признаться, и никогда о нем не вспоминал. Не исключено, что тот снова попал в число неупоминаемых. И вот вдруг явился точно из небытия, да еще и на гидроплане, да еще и в адмиральских погонах, да еще и произвел сильнейшее впечатление на экзальтированную Глику, да еще и направился с большими чемоданами в их общий высотный дом, обитель будущей неоплатоновской республики. Уж не собирается ли тут вместе с нами, «царями-философами, солдатами и артизанами», поселиться?

Оказалось, что вот именно в неоплатоновской обители, вот именно вместе с «царями-философами» и возвышенными женщинами социализма и собирается поселиться воздушный моряк республики, контр-адмирал Жорж Моккинакки с набором орденских планок шириной в натруженную штурвалом ладонь. Больше того, вот именно на 18-м этаже, где, оказывается, ждала его одна не занятая еще квартира.

Не прошло и получаса после его вселения, как он появился на террасе Новотканных в сопровождении обслуживающего персонала. Фаддей и Нюра скользили по бокам с нескрываемым восхищением сопровождаемой персоной. Казалось, им и в голову не приходит, что незваный гость может вызвать какие-либо иные чувства, кроме восхищения. Не исключено, что персона сия фигурировала в каких-нибудь секретных списках их подразделения, то есть Специального буфета, как лицо выдающихся заслуг и беспрекословных качеств, однако не исключено также, что гость и без всяких списков просто воздействовал на них каким-то своим собственным гипнотическим шармом.

«Ксаверий Ксаверьевич, разрешите доложить, к вам с визитом прибыл контр-адмирал Моккинакки», – с иключительным чувством причастности к великолепному событию произнес Фаддей, а Нюра сделала соответствующий жест обеими руками, как в водевиле на народные темы. И тут же выдвинулась вперед выдающаяся фигура названной персоны, успевшей за истекшие полчаса переодеться в белую парадную форму, по всей вероятности, сшитую на заказ в преддверии парада. Пройдя по обширной и весьма витиеватой вследствие всевозможных архитектурных и скульптурных изысков террасе без малейшей запинки, как будто он не раз уже тут побывал и может проложить курс без посторонней помощи, Жорж, держа левую руку за спиной, подошел к столу, за которым восседало все почтенное семейство, и с некоторым юморком прищелкнул каблуками: «Величайший Ксаверий Ксаверьевич, достойнейшая Ариадна

Лукиановна, несравненная Гликерия Ксаверьевна, позвольте представиться, я ваш новый сосед по этажу, морской и воздушный разбойник на службе Союза республик Жорж Эммануилович Мокки, а также и Накки!» С этими словами он извлек из-за спины великолепнейший букет фантастических полярных тюльпанов.

Служащие СБ тут же водрузили в центр обширного круглого стола большую хрустальную вазу, изделие братской Чехословакии, где и поместились странные, как будто выросшие из алюминия, цветы. Все присутствующие, включая, между прочим, и военнослужащих СБ, на миг испытали странное чувство какого-то изменения среды. Чувство это, впрочем, тут же отлетело прочь, и воцарилось нечто сродни общему ликованию.

Только закончив церемонию представления хозяевам, Моккинакки раскрыл объятия Смельчакову. «Черт тебя побери, Кирюха, ты, наверное, думаешь, что я удивлен был увидеть тебя в окуляры своего фронтового бинокля вот здесь, в лоне столь великолепной семьи, а вот и не был удивлен и на микрон!» Смельчаков стоял с раскрытыми объятиями. «Черт тебя побери, Мокки и Накки, ты, наверное, думаешь, что я удивлен твоему появлению на этой башне неоплатоновского града, а я вот не удивлен даже и на одну запятую!» Объятия сомкнулись, то есть превратились в одно могучее объятие двух неслабых. Мужчины помяли друг друга, как и полагается среди солдат. Шутливые чертыхания перемежались восклицаниями «а помнишь, а помнишь», пока вдруг оба не сообразили, что вспоминать-то, собственно говоря, нечего, кроме одной-единственной встречи во льдах моря Лаптевых двенадцать лет назад. Ну и прорвалось: «А помнишь, как на „Коминтерне“-то повышали градус оптимизма?!» «Еще бы, почитай, весь твой энзе прикончили за два часа под северным сиянием!» «А помнишь, как чашу дружбы-то возжигали?!» «И черпачками, что ли, хлебали, так, что ли?!» «И как оглашенные там бегали с чертенячьими пламеньками на животах и на рукавах, как только бородища твоя не сгорела!» «А также и глотки наши как не сгорели, мой друг, а также и языки!» «Ей-ей, как же можно забыть такое бдение отпетой полярной комсомольщины!»

Пока эта сцена продолжалась, хозяева террасы обменивались восхищенными и, конечно, гостеприимными, но все-таки слегка отчасти чуть-чуть недоуменными взглядами. Откуда-де так вдруг и появился этот столь неожиданный контр-адмирал? Как чудесно выглядит эта встреча боевых друзей, однако не кажется ли тебе, роднуля, что они обмениваются какими-то странными воспоминаниями? За столом, конечно, никто у нас не лишний, а уж тем более новый сосед по 18-му этажу высочайшего в столице жилого дома, да к тому же и такой отменный образец молодого мужчины, да с небольшой плешью, ну и что ж, эти залысины у него на смуглоореховой голове ничего ему не убавляют, а только прибавляют, а все-таки не стоит ли запросить соответствующих товарищей о степени гостеприимства?

Третья хозяйка, то есть дочь Гликерия, прекрасно понимая эти обмены улыбчивыми взглядами, полыхала своими взглядами им в ответ. Ах, товарищи родители, да неужели вы забыли, что Жорж спустился к нам с этих лазурных небес, что он прилетел сюда на первоклассном советском гидроплане, словно с картины Дейнеки? Ах, Глика, с минимальнейшей досадой отвечала ей взглядом мать, ты опять слегка, чуть-чуть не к месту упоминаешь этого отчасти формалиста Дейнеку!

Все эти неизреченные сомнения улетучились, когда Фаддей, раскладывая новые наборы ножей и вилок, дал понять своими взглядами из-под лохматеньких бровей, а также улыбками, в которых поблескивал крупный желудь золотого зуба, что соответствующие товарищи уже запрошены и что получено «добро» на высокую степень гостеприимства. Тут как раз и Нюра появилась с блюдом отлично пропеченной индейки, еще недавно пробегавшей по полям братской ВНР. И сразу же по прибытии индейки академик Новотканный поднялся с хрустальным бокалом.

«Ну что ж, друзья, давайте начнем наш ужин с традиционного тоста всех советских людей. За генералиссимуса Сталина!»

Солнце, собственно говоря, к началу ужина уже опустилось за звезды, шпили и купола священной для каждого гражданина старинной крепости Кремль. Отсюда, с 18-го этажа, она в этот прозрачно-сияющий вечер видна была как на ладони, и казалось, что это именно она покрывает собою важнейшее закругление земли. Небосвод на своих западных склонах демонстрировал полную незыблемость. Там сгущалось золото, а над ним разливалась волшебная прозелень, словно предназначенная для промывки планетного серебра; и, впрямь, там уже светилась

успевшая раньше других Венера, Глика видела ее прямо над адмиральским погоном, когда оборачивалась к сидящему слева Моккинакки.

«Верьте не верьте, Жорж Эммануилович, но я помню статью в „Огоньке“ о вашем освобождении из ледового плена, – говорила девушка своему соседу. – Я была тогда шести лет от роду, и я с некоторой опаской смотрела на мутную фотографию бородатых полярников. Мама мне читала, что самая длинная борода была у пилота Моккинакки, он даже затыкал ее за пояс».

Девчонка явно кокетничает, с удивлением наблюдал жених Кирилл. Никогда еще не видел, чтобы она посматривала на чужого мужчину из-за плеча.

«Мама, помнишь, как ты мне читала про эту бороду?» – спросила Глика.

Ариадна Лукиановна картинно курила длинную болгарскую «Фемину» с золотым ободком. Выпустила колечко, шикарно хохотнула. «Ничего подобного я тебе не читала, дитя мое. Это, очевидно, одно лишь твое воображение».

Глика притворно рассердилась, хлопнула ладошкой по столу. «Да ничего это не мое воображение! Может быть, это было воображение какого-нибудь репортера. – Мельком бросила надменноватый взглядик на Кирилла – ого, она меня задирает, подумал тот. – Жорж Эммануилович, да подтвердите же вы, что у вас на льдине была борода, которую вы затыкали за пояс!»

Моккинакки еще не перешел к курению, обтесывал индюшачью ногу, совершал глотательные движения, которые у него сочетались с каким-то ловким причмоком, очищающим ротовую полость. «Гликочка моя, – произнес он, великолепно артикулируя каждое слово, – чаще я обкручивал эту бороду вокруг шеи на манер шарфа, но иногда я действительно затыкал ее за пояс. Кирилл не наврал, несмотря на свое поэтическое воображение».

Глика бурно рассмеялась. «Ой, как замечательно! Бороду на манер шарфа! А почему бы вам, Жорж, не отрастить ее снова и не носить ее заново на манер шарфа?»

Моккинакки завершил трапезу еще одним сильным причмоком и слегка приблизил свое знатно выбритое лицо к собеседнице. «Гликочка моя, если бы мне пришлось отращивать ее заново, я бы вообразил ее на ваших плечах на манер боа. – И добавил своими бровями, крыльями носа и даже слегка чуть-чуть преувеличенными ушами: – Моя родная». Девушка вспыхнула, что, конечно, не прошло не замеченным за столом. Вот это да, подумал Кирилл. Каково, подумала мать. И только отец подумал иначе: однако, однако.

Платоническая любовь

Три месяца, что прошли в их жизни со дня удивительного обручения Глики и Кирилла, нельзя было назвать ни абсолютно безоблачными, ни стопроцентно лучезарными, хотя и дурными эти месяцы тоже не назовешь. Конечно, временами кто-то начинал интенсивно хмуриться из этого союза четырех сердец. Вот, скажем, Ксаверий: вдруг возьмется ходить день-деньской по своей огромной квадратуре, бубнит, вдруг палец загибает в виде вопросительного знака, вздымает его выше темени и так ходит, поет одну строчку из оперы: «Сатана там правит бал» и без конца ее повторяет или вдруг, превратив вопросительный знак в восклицательный, берется им, как копьем, куда-то тыкать. «Ксава, какого быка ты там матадоришь?» – спрашивает его Кирилл. Тот не отвечает.

Собственно говоря, отец и будущий зять (если так можно сказать о женихе в платоническом смысле) были людьми одного поколения: Ксаверий был старше всего на пять лет. Когда-то, в период молодых влюбленностей, Кирилл недолюбливал этого «постоянного мужа», потому что тот постоянно мешал ему добраться до Ариадны. Теперь, когда наш поэт нежданно-негаданно оказался едва ли не членом семейства Новотканных, возникли совсем новые отношения. Они стали симпатизировать друг другу и с удовольствием проводили вместе время на теннисном корте, или в плавательном бассейне спортклуба ЦДКА, или возле камина за распитием коллекционного коньяка «Греми» и за беседами о мировой атомно-политической обстановке. Вот только такие приступы молчания и мычания, хождения по бескрайней квартире и загадочных жестикуляций обескураживали Кирилла.

«Адна, спроси ты своего благоверного, о чем это он без конца ходит?» – с некоторым раздражением просил Кирилл. «Я и так знаю, о чем он так ходит, он ходит так о любви, то есть обо мне, – поддразнивала поэта будущая теща. – Ксавка, ведь правда, что ты так ходишь обо мне и только обо мне?»

Ксаверий вдруг выходил из кататонического состояния. «Неправда! – громогласно возглашал он. – Я хожу так по поводу ускорения частиц! Там, в Лос-Аламосе, они обогнали нас на порядок!»

Ариадна тоже временами теряла ритм своей привычной жизни, в которой она, водрузив на нос очки, садилась к столу в своем кабинете, читала бесконечные материалы различных комитетов, говорила по телефону (обычному и вертушечному) с разными выдающимися людьми, диктовала тезисы одновременно стенографистке и машинистке, звонила в гаражи то Академии, то КСП, а то и ГОНа,[1] заказывала себе машину к подъезду, отправлялась на заседания, премьеры, филармонические концерты, выставки МОСХа; и вдруг выпадала из ритма.

«Где твой жених? – в такие минуты спрашивала она Глику. – Ты отдаешь себе отчет, что он за человек? Ответь матери, вы откровенны друг с другом? Он прикасается к тебе? Тебя влечет к нему? Ты хотя бы чуточку понимаешь, что у него за плечами?»

Глика, разумеется, вспыхивала и молчала. Мать внимательно следила за состоянием ее ланит. Экая странность, у меня в моем бальзаковском возрасте с эндокринной системой все в порядке, а дочка то и дело полыхает на девятнадцатом году жизни. Она меняла тон, приближалась к дочке, нежно целовала ее в мочку уха. «Девочка моя, ну доверься мне, тебе будет легче, поверь. Что происходит между вами, когда вы остаетесь вдвоем?» Глика вскакивала, куда-то устремлялась, резко оборачивалась, красота ее, усиленная румянцем, становилась просто невыносимой. «Знаешь, мама, ты совсем не понимаешь наших отношений! Кирилл не Тезей, ему не нужна нить Ариадны! Он скорее Лоэнгрин!» Мать грубовато хохотала, качала головой, резковато покачивалась ее прическа, великолепные темно-каштановые волосы. «Что за вздор? Что за мистика? Это в наше-то время!» Диалог прерывался.

Жених и невеста оставались вдвоем не так-то часто. Иногда он читал ей новые стихи в своей квартире. Комнаты, еще недавно заставленные инвентарной мебелью, с каждым разом преображались, превращаясь в шикарное и безалаберное обиталище богатого холостяка: туркменские ковры, медный глобус старой германской работы, оригиналы гравюр Дюрера, живопись Питера Брейгеля, холсты «Бубнового валета», купленные под сурдинку на разных московских чердаках, массивный письменный стол и рядом конторка красного дерева, все это завалено старыми книгами, множеством нового хлама в лице «толстых» журналов, а также и пожелтевшими копиями журнала «Аполлон», возле камина отменный мрамор, скульптура стыдливой полуобнаженной девы, о которой он ни разу не упустил возможности заметить «Это ты!», сделанная по заказу стойка бара и три высоких табуретки, зеркала в позолоченных рамах, широченная «александровская» кровать, мимо которой она всегда проходила, отвернув возмущенную голову, – и все это в хаотическом расположении, в беспорядке, прямо скажем, в дисгармонии, в сочетании несочетаемого; например, под большой фотографией Сталина навален был комплект зимних шин с шипами и заплатанные баллоны.

Она забиралась с ногами на отменный кожаный диван, лишь едва потертый задами и лопатками неизвестно скольких поколений, а он ходил перед ней и читал, читал, читал свое: то чисто советское лирическое, слегка чуть-чуть как бы чувственное, то дерзновенно вызывающее в адрес империалистов, а то и киплингианское с гумилевским акцентом. Иногда, зачитавшись, весь в ореоле мегаломании, если так можно сказать по-русски, он забывал про нее. Спохватившись, бросал на деву взгляд и видел заплаканное лицо, светящиеся глубокой любовью глаза. Глика, девочка моя, он садился рядом, одной рукой обнимал ее за плечи, другой гладил по голове. Она как-то, то ли по-кошачьи, то ли по-детски, обуючивалась у него в руках. Он переполнялся чем-то братским или даже отцовским, пока вдруг, всегда бурно, в нем не просыпалось либидо, и он, теряя голову, начинал целовать ее в губы, а рука непроизвольно начинала путешествовать с головы на шею, потом на грудь, на живот, и тут она пружиной выскакивала из его объятий. Лицо ее в такие минуты становилось гневным и презрительным, как будто он, ее «вечный жених», совершал предательство.

Вот, собственно говоря, и все, что так жаждала узнать Ариадна. Дальше этих вспышек они ни разу еще не зашли. Кирилл клял себя за то, что вступил с фригидной красавицей в такой

немыслимый альянс. Неужели она не понимает, какая это мука для меня с моими тридцатью семью годами, со ста сорока женщинами, что прошли через мои руки? Надо немедленно поломать все это постыдное жениховство! Признаться самому себе в лицемерии! Сбежать, уехать куда-нибудь! Закрутить какой-нибудь роман с хорошо разработанной бабой! Жениться на какой-нибудь! Подстеречь опять Эсперанцу! Снова украсть ее! Пусть Гага меня убьет! Пусть Сосо-батоно посадит меня в тюрьму! Что угодно, но только не это!

А через несколько переборок могучих яузских стен, на том же 18-м этаже, металась на девичьей постели звезда МГУ Гликерия Ксаверьевна Новотканная. Солдафон, насильник, он хочет из меня сделать заурядную гарнизонную шлюху! Девку из «Националя»! Говорят, они там все обмениваются своими затычками! В лучшем случае супругу семижды лауреата, гусыню выводка! Он, мой вечный жених, Лоэнгрин, даже не понимает, каким становится постылым, когда меня домогается. Скажу матери, пусть откажет ему от дома! Пусть Ксаверий даст ему пинка! Пусть Фаддей и Нюра не пропускают посягателя! А лучше убегу на стройку Волго-Дона, туда, к энтузиастам! На лесозащитные полосы! Хочется улететь, оттолкнуться ногами, взорлить и исчезнуть, чтобы не видеть нарцисса самовлюбленного. Который ради своей утехи намерен все тело мое распластать под собой, придавить, разодрать ноги, вторгнуться в меня и трястись на мне, как оккупант на Украине. Как жаль, что сейчас нет войны: ушла бы в санбат, таскала бы страждущих, которым не до плотских утех, исчезла бы там где-то.

Метания такого рода продолжались всю ночь по обе стороны лестничной площадки до тех пор, пока не затихали и пока в горячем полусне и перед ним, и перед ней, быть может, даже в один час или в один миг мелькали моменты, или скорее порывы счастья и влюбленности, на которой нет ни единого плевка, ни единого пятна, в которой каждое прикосновение пальцев переплетается со счастьем взглядов. Так было, конечно, в тот мартовский день, когда шли вдвоем вдоль ледохода к Кремлю, когда огибали Кремль и пересекали Манежную, чтобы войти в столь интригующий европейский отель. Так было и в другой раз, к концу марта, когда вдруг, ненадолго, грянули последние морозы и весь город повалил через Крымский мост в ЦПКиО с коньками на плечах, чтобы насладиться последними в году катаниями.

Кирилл и Глика оставляли машину у главного входа и бежали через триумфальные ворота в какую-то паршивую раздевалку, чтобы надеть коньки. Дальше начиналось сущее блаженство, то есть детство. Детство это было не малышовское, а порядочно возрастное, что-то вроде пятиклассия или шестиклассия, когда девочка и мальчик скользят вместе, взявшись за руки, совершают пируэты и шалят друг перед другом, не замечая вокруг никого, но все-таки пьянея от толпы, от взрывов смеха, от писклявого голоска из репродуктора: «Мы бежали с тобой на каток, на сверкающий лед голубой!»

Однажды они далеко унеслись от электрифицированной части огромного катка, и вдруг над ними среди белых еловых лап открылся глубочайший, вернее, безмерный колодец в звездное небо. Вдруг оба они, как потом признавались друг другу, почувствовали тотальную новизну момента, а также всего бытия. Все, что мы видим нашими телами, подумали они, может предстать совсем иным. То, что здесь кажется ничтожно малым или бесконечно большим, там отвергается и может стать самим собой. Все наши чувства и органы чувств – лишь намеки на вселенское чувство, а наша любовь – лишь намек на вселенскую радугу. Когда скользишь на коньках в ночи, слегка освобождаешься от притяжения и от вечной человечьей неуклюжести. Вот почему нас так тянет на лед. И вдруг они затанцевали друг с дружкой, как какие-нибудь фигуристы будущего на дне космического колодца.

Вспомнив эти счастливые минуты, они мирно засыпали, а утром встречались на большой кухне Новотканных, где спецбуфетчица Нюра готовила для них хрустящие оладьи.

Появление Тезея

Однажды, уже в апреле, Глика сказала Кириллу, что в МГУ намечено его выступление перед студентами. Оно состоится через неделю. Он не поверил своим ушам. В эту обитель всего самого непорочного и ортодоксального даже Степана Щипачева с его стихами о любви не приглашали, не говоря уже о таких авторах, как Константин Симонов или, тем более, Кирилл Смельчаков. Глика со

смехом рассказала ему, как волновались в комитете комсомола, в парткоме, в деканате и в ректорате. Все эти организации обращались с робкими запросами по инстанциям в полной уверенности, что те наложат вето, и крайне удивлялись, когда из всех инстанций без задержки приходило безоговорочное «добро». Впрочем, была одна оговорка: никаких публичных объявлений, вход в зал по строго лимитированным пригласительным билетам.

В тот вечер всем семейством, включая спецбуфетовцев, отправились на Ленгоры в секретном ЗИСе-110 Ксаверия Ксаверьевича. В гигантском здании не наблюдалось никаких признаков чрезвычайного события. Актовый зал был закрыт. Необъявленный вечер поэзии должен был пройти в университетском Клубе. Все триста мест были заняты активистами и отличниками с разных факультетов. Большинство из них жили в маленьких отдельных комнатах с душем, что считалось по тем временам невероятным комфортом. Народ, стало быть, был хорошо помытый, о чем свидетельствовал низкий уровень запаха пота, что было молчаливо отмечено как семейством Новотканных, так и поэтом. Последний все-таки не удержался и шепнул невесте, что даже в парижском зале Мютюалите душок бывает покрепче. Стоял сдержанный гул, свидетельствующий об изрядном возбуждении: не каждый день здесь на сцену поднимались такие героические, влекущие молодежь фигуры.

Гул затих, едва лишь герой поднялся на подмостки, воцарилась стопроцентная тишина, свидетельствующая о стопроцентном возбуждении, словно в ожидании взрыва. Вечер открыл декан журфака профессор Январь Заглусский. Он представил гостя как выдающегося поэта и журналиста, перечислил его награды и титулы, прочитал отрывки из хвалебной критики, включая даже ту самую ключевую статью из «Красной звезды» 1944 года, «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались (поэтическая эпопея коммуниста Смельчакова)». Герой встал, поклонился и вдруг… ах!.. снял пиджак и повесил его на спинку стула. В зале вспыхнуло: прям как Маяковский! Неужто времена ЛЕФа возвращаются?! Свитер тонкой шотландской шерсти плотно облегал разворот его плеч. Глику вдруг обожгло: обязательно повисну на этих плечах! Это мои плечи! Ариадна перепутала очки, нацепила что-то не то на свой греческий нос. Фигура Кирилла не приблизилась, а отдалилась, показалось, что время скакнуло назад и он мальчишкой стоит один где-то в аллее Петровского парка. А он силен, подумал Ксаверий. Ей-ей, я ее понимаю, ей-ей! Фаддей и Нюра, смышленая пара, быстро переглянулись: раз снял пинжачок – значит, может себе позволить.

Сначала он прочел кое-что по злободневной гражданской теме. Пентагон был его главный враг, зловещий пятиугольный ромбоид. Однажды его там задержала местная, из Пентагон-сити, полиция. Не понравилась, видите ли, манера езды на наемном автомобиле. Приказали дуть в трубку, сковали запястья. В участке посадили под портретом своего президента с псевдоаптекарской внешностью. Милитаристская провокация развивалась в полную силу. Выворачивали карманы, рылись в портфеле, засыпали градом непонятных угроз. Как борец за мир он отвечал на все одной фразой: «Пис би уиз ю!» Фараоны грубо хохотали, «олсоу уиз ю», кривляясь, пожимали ему руку, ёрнически осеняли себя крестом. Браслетки все-таки сняли. И вот тогда он встал и произнес четыре слова: «Совьет Юнион, Москоу, Сталин!» Узы мигом распались.

- Вы, фараоны угрюмых ристалищ!
- Ты, бомбоносный, атомный Пентагон!
- Знайте, великое слово – Сталин
- реет над маршем
- наших
- миролюбивых
- колонн!

Публика аккуратно поаплодировала в предвкушении дальнейших, лирических строф, ради которых, собственно, все и пришли. Кирилл подошел ближе к краю сцены и стал оттуда читать стихи из фронтовых тетрадей, среди которых были и уже известные читателям этой книги «Высадка в Керчи» и «Надежда парашютиста». Потом он подтащил к краю стул с пиджаком, уселся в непринужденной, нога на ногу, позе и приступил к откровениям из «Дневника моего друга». Глика с первого ряда оглянулась на зал и сразу увидела там зачарованные лица смельчаковок, что, не будучи ни отличницами, ни активистками, умудрились пробраться в ряды избранных. Теперь уже каждое стихотворение завершалось каким-то общим вздохом

потрясенного тихой лирикой, с ее пресловутой смельчаковской «чувственностью», молодого народа. Теперь уже Ариадна оглядывалась на зал. «Надеюсь, он не будет читать „Снова Испанию“, – прошептала она на ухо Глике.

«Вторая, еще не завершенная, а потому и ненапечатанная книга „Дневников моего друга“ называется „Снова Испания“, – сказал Кирилл. – Вот несколько строф из этого цикла».

Глика сжала запястье матери.

- Ты извертелся на перине.
- Кузнецкий спит, гудит пурга,
- Ну почему ты не отринешь
- Кастилию и Арагон?
- Звучит «Фанданго» Боккерини.
- Заснуть! Но не смыкаешь вежды.
- Забыть! Но даже через транс
- Она идет, Звезда-Надежда.
- Иль по-французски Эсперанс?
- Увы, тебя не сдержат вожжи.

«Что за странные стихи», – пробормотал академик.

«Ксаверий, молчи!» – шикнула на него Ариадна.

Глика закусила губы. Ее вдруг поразила мысль, что она, вечная невеста вечного жениха, полностью отсутствует среди его лирических героинь.

По смельчаковкам прошло рыдание. Зал волновался. Профессорско-преподавательский состав переглядывался и шептался. Заглусский довольно громко произнес: «Может быть, перейдем к вопросам и ответам?» Вдруг молодой бас прогудел: «Читай дальше, Кирилл!» Кто-то оглушительно захлопал. Зал подхватил. Поэт встал со стула, накинул на плечи свой болотистого цвета пиджак с накладными карманами. Фотограф факультетской газеты «Журфаковец» зажег свою лампу. В ее свете фигура на сцене приобрела слегка монументальные черты. Поэт улыбнулся и достал из нагрудного кармана потрепанный блокнот.

«А теперь, друзья, и особенно вы, мои молодые друзья, я хочу познакомить вас с фрагментами одной экспериментальной работы. Много лет назад, еще до войны, будучи студентом ИФЛИ, я был увлечен древнегреческой мифологией, особенно эпосом Тезея. Я стал записывать в эту книжку строки большой поэмы „Нить Ариадны“. Все это вскоре было, конечно, забыто, потому что начался другой героический эпос, в котором мы оказались не описателями и не читателями, а прямыми участниками. И вот недавно, во время переезда на другую квартиру, я стал разбирать свой довольно хаотический архив и натолкнулся на эту книжку. И вдруг сообразил, что во время войны я умудрился побывать на месте действия поэмы, то есть на острове Крит, когда я был на короткое время приписан к штабу фельдмаршала Монтгомери. Вдруг снова загудели во мне те старые песни. Я стал расшифровывать и записывать заново прежние строки. И вот появились первые результаты. Надеюсь, вы будете снисходительны к слегка запутавшемуся автору».

- Свершив немало известных деяний
- И много больше темных злодейств,
- В одном из неброских своих одеяний
- Прибыл на Крит боец Тезей.
- Бредет он, на метр выше толпы поголовья,
- Своей, неведомой никому стезей,
- А Миносу во дворце уж стучат людоловы,
- Что в городе бродит боец Тезей.
- Сюжет в мифологии не зароешь,
- Спрятав версию или две.
- Не так-то легко пребывать в героях,
- С богами будучи в тесном родстве.
- Потом он возлег в пищевой палатке,
- Зажаренного запросил полбычка,
- Вина из Фалерно для высохшей глотки
- И кости, дабы сыграть в очко.

- Царю в тот же час доложат сыскные,
- Хорош он с плебеями или плох,
- В какой манере он ест съестное
- И часто ли приподнимает полог.
- Царь посылает дочь Ариадну:
- «Проси знаменитость прибыть во дворец.
- Не тешь себя любопытством праздным
- И не трещи, дочь моя, как залетный скворец».
- Она на подходе понять сумела —
- Царская дочь была неглупа, —
- Что сердце герою дарует смело
- И шерсти овечьей отдаст клубок.
- Царская дочь, то есть почти богиня,
- В шаткой палатке герою сдалась тотчас.
- Шептала: «Ты меня не покинешь?»
- И вишнями губ ласкала железный торс.
- «Все люди проходят свои лабиринты,
- И каждого ждет свой Минотавр,
- Но знай, Тезей, на краю горизонта
- Пряду я нить из небесных отар.
- Если пойдешь ты на Минотавра
- И вступишь в запутанный, затхлый мрак,
- Держи эту нить и увидишь завтра,
- Что царству теней ты не заплатишь оброк.
- Теперь отправляйся к престолу Крита,
- А я тебе фимиам воскурю.
- Эола тут прилетит карета,
- И ты свою тайну откроешь царю».
- Темные мраморы, мерная поступь.
- Стража сзади смыкает штыки.
- Сколько храбрость свою ни пестуй,
- Жила дергается на щеке.
- И вот он предстал перед троном Кносса,
- Где чудищ скопилось не меньше ста,
- И Пасифая, узрев колосса,
- Вдруг разлепила свои уста:
- «Я знаю, что ты негодяй прожженный,
- Но, если избавишь нас от Быка,
- Куб золота дам и дочерь в жены.
- Женись и от подвигов отдыхай».
- Он отправляется дальше к цели
- Спасать афинян, что достались Быку,
- Один, словно клещ, вползающий в щели,
- Лишь только меч висит на боку.
- Вокруг кишат вульгарные твари,
- Ищет растления пьянь.
- Дико рычит в унисон с Минотавром
- Буйная, посейдоновская, океань.
- Для пересечения площади пускаюсь в бег.
- Ариадны горячий клубок под моим плащом.
- Удаляется в сторону вольный брег,
- Приближается свод лабиринта, под кирпичом.
- Толпа завывает, трусливо гоня.
- Опускаюсь, куда послали, во мрак.

- Больше никто уже не зажжет огня.
- Кремня и кресала даже не дали впрок.
- В лабиринте герой теряет глаза.
- Нужно видеть кожей, идти на слух.
- Ну а если появится прошлого полоса,
- Отгоняй эти краски, как знойных мух.
- В этом мраке есть житель, он черноту коптит.
- Ты не увидишь, как он опускает рога.
- Ты только услышишь грохот его копыт
- И, не успев помолиться, превратишься в рагу.
- Но даже если ты от него уйдешь,
- Если прянешь в сторону со щитом,
- Если в шейную жилу вонзишь ему нож,
- Не найти тебе выхода в светлый дом.
- Чу, услышал он, нарастает рев,
- Убивающий волю шум,
- Сатанинский бессмысленный бычий гнев,
- Словно персы идут на штурм.
- Я обрываю здесь свой рассказ —
- К счастью, не обрывается нить —
- В надежде, что ноги смочу росой
- И увижу твою финифть.

После выступления и прощания с умеренным количеством тостов семейство Новотканных, вместе с «женихом», решило пройтись по Аллее Корифеев. Над ними стояла апрельская, слегка морозная ночь. Ярко светились Стожары. За спинами у них высился Университет со своими огромными светящимися часами и с подсветкой фигур каменных книгочеев. Лимузин, перекатываясь белыми кругами шин, на самой малой скорости шел вровень с ними по параллельной аллее. Шофер и спецбуфетчики поглядывали из окон. Сначала шли молча. Потом Кирилл спросил:

«Ну как?»

«Ах! – воскликнула Ариадна. – Все было просто замечательно! Кирилл, ты действительно лауреат!» Блестели ее глаза, в темноте она казалась не матерью Глики, но ее немного старшей сестрой. – Ты очень вырос, Кирилл! Какие стихи! Какой верный отбор для сегодняшнего вечера! Особенно мне понравилась… – Она запнулась и продолжила с некоторым принуждением. – Особенно мне понравились стихи гражданского звучания!»

Ксаверий положил на плечо Кириллу свою тяжелую руку. Основательно нажал. «И все-таки я считаю, что „Нить“ была лишней. Это слишком, ну, сложно для студенческой аудитории. Ты не находишь?»

Кирилл что-то промычал, стараясь освободиться из-под весомой руки. Глика молчала, кончик носа у нее слегка дрожал, на нем чуть-чуть поблескивала крохотная капля. Он взял ее под руку.

«А ты что молчишь, Гликерия Ксаверьевна?»

«Ах! – сказала она, то ли пародируя, то ли просто повторяя маменьку. – Вы просто всех ошеломили! Никто такой раскованности от вас не ждал. Ваши поклонницы с нашего курса просто отпадали в полуобмороке».

Кирилл растерялся. «С каких это пор… Признаться, не понимаю причины… Что это ты вдруг перешла на „вы“? Дай-ка я лучше вытру твой столь вдохновляющий нос!»

«Оставьте, оставьте! – вскричала она, увиливая от платка. – Что это за панибратство?»

Делая вид, что все переходит к шуткам, они погрузились в ЗИСы, и быстро промчались по Фрунзенской набережной, где к тому времени уже выросли добротные жилые дома, мимо Министерства обороны, мимо ресторана «Поплавок», мимо двух таинственных дипломатических клубов, американского и французского, мимо законсервированной стройплощадки Дворца Советов, потом по Кремлевской набережной, потом мимо Зарядья и Артиллерийской академии, пока в полный рост не возник перед ними их великолепный высотный чертог; и тут подъехали к центральному входу, где и выгрузились.

«Девушки, вы поднимайтесь наверх, а мы с Кирюшей немного погуляем», – вдруг распорядился Ксаверий Ксаверьевич. Жена и дочь знали, что, когда он говорит таким тоном – что случалось крайне редко – лучше не возражать. Кирилл этого не знал.

«В чем дело, товарищ генерал?» – спросил он.

Ксаверий отогнал вновь мелькнувшее желание дать жениху по шапке, или, вернее, по загривку, да так, чтобы тот слегка сплющился.

«Дело в том, мой друг, что твоя античная поэма представляется мне очень опасной».

«Опасной для юношества?» – делано рассмеялся Кирилл.

«Да нет, для автора», – суховато уточнил академик.

«Для автора мифа или для версификатора?» – с еще большей искусственностью хохотнул поэт. Он вдруг почувствовал слабость в ногах.

«Перестань ёрничать! – оборвал его Ксаверий. – Ты, кажется, всерьез вообразил себя гражданином утопической республики, о которой ты постоянно поешь канцоны нашей девчонке. А между тем мы живем в реальном мире, в середине двадцатого века! Прошло всего лишь шесть лет после Постановления ЦК о журналах „Звезда“ и „Ленинград“. Всего лишь семь лет с конца войны. Может быть, кому-то в вашем Союзе писателей кажется, что подходит время поблажек, однако никто не отменял борьбы против космополитизма, за наше национальное достоинство. Мы собираемся нести свет, очищать горизонт, а ты в этой поэме пишешь о мраке. Твой герой идет в полном мраке, а в глубине этого мрака его ждет сгусток мрака, который убивает всех, кто идет по лабиринту. Ты что, вот пишешь так свои вирши, снабжаешь их диковинными рифмами и не отдаешь себе отчета, что такое этот мрак, кто такой этот Минотавр, этот сгусток мрака?»

«Ну и разгулялось у тебя воображение, Ксава, – пробормотал Кирилл. – Послушай, давай присядем, у меня от твоей зловещей трактовки поэмы, ей-ей, задрожали коленки».

«Именно так будут трактовать ее те, кому полагается это делать. Если, конечно, тебе удастся ее напечатать, – сказал Ксаверий. – А если не напечатаешь, но будешь читать на публике, ее будут трактовать те, кому полагается заниматься другими делами».

Они сидели на длинной скамье недалеко от центрального подъезда. У дверей там стояли шофер Кулачков и спецбуфетовцы Нюра и Фаддей. Охрана засекреченного ученого ни на минуту не прекращалась. Проходила и обычная жизнь. На другом конце скамьи две пожилых дамы в каракулевых манто вместе со своими болонками рассматривали фотокарточки и весело хохотали, что твои молодухи. Мимо скамьи с пинчером на поводке прошел рослый юнец в чрезвычайно узких брюках и с большим, словно проволочным, начесом надо лбом. Он поклонился: «Добрый вечер, Ксаверий Ксаверьевич». Новотканный кивнул ему в ответ. «Кто это?» – спросил Кирилл. У него почему-то улучшилось настроение при виде юного стиляги с пинчером. «Это сын моего коллеги, академика Дондерона», – ответил Ксаверий.

«Послушай, Ксавочка. – Кирилл впервые в жизни назвал его так, как иногда, развеселившись, дразнили могучего кубанца Ариадна и Глика. Назвав его так, тут же пожалел об этом, поймав сумрачный, будто угрожающий взгляд. – Я очень тебе благодарен за твою трактовку и даже весьма польщен, что мое версификаторство разбудило такое трагическое воображение. В конце концов миф всегда содержит в себе и трагедию, и катарсис. Почему, однако, мы не можем осветить всю картину красками светлого исхода? Да, лабиринт – это мрак, да, в этом мраке есть сгусток мрака, но почему не представить себе, что мрак – это угроза новой войны, нависшей над миром, а сгусток мрака – это не что иное, как Пентагон? Тезей бесстрашно идет навстречу этому сгустку, а нить Ариадны – это то, что соединяет его с жизнью, с любовью, со светлым горизонтом, со звоном финифти в конце концов. Почему не представить себе, что Тезей – это ты, Ксаверий Новотканный, великий ученый, призванный защитить мир света и добра?»

Академик расхохотался столь громогласно, бурно и неудержимо, что все присутствующие при этой мизансцене – и дамы в каракуле, и их болонки, и Юрочка Дондерон, и его пинчер, и охрана – обернулись. Он хохотал не менее трех минут, даже прослезился, а потом взял из рук собеседника платок, которым тот пытался ухватить нос Глики, и вытер им свое лицо. «Ну и хитер ты, Кирюха! Теперь я понимаю секрет твоих успехов! Каков хитрец!»

Кирилл молчал. Медлительными движениями он достал из кармана плаща коробку албанских сигарет, зажег свой фронтовой источник огня, с наслаждением затянулся, откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза.

Утром его вызвали к Маленкову. Отгоняя от себя мрачные мысли, он быстро побрился, ублаготворил подмышки отечественным одеколоном «Шипр» («Данхилл» может вызвать недоуменное принюхивание), вытащил из шкафа серый, шитый в Военторге костюм, в который обычно облачался для походов в инстанции. Мрачные мысли все же возвращались. Неужели Ксаверий прав? Неужели «Нить Ариадны» действительно так опасна? Неужели второе лицо в государстве получило сигнал уже на следующий день после легкомысленного прочтения? Неужели второму лицу в государстве больше делать нечего, как только бить по башке поэта, пусть он даже семижды лауреат Сталинской премии и депутат Верховного Совета?

Если это так, значит, я вхожу, как Тезей в лабиринт к Минотавру, с той лишь разницей, что у меня нет ни меча, ни клубка Ариадны.

Впрочем, кто осмелится меня вот прямо так столкнуть под землю? Что же, Маленков не в курсе того, что я иногда по ночам беседую с первым и, собственно говоря, единственным сверхчеловеческим человеком государства? Так или иначе я иду вперед, как Тезей. Пусть «жила дергается на щеке», но лучше бы она не дергалась. Скажу ему то, что сказал вчера Ксаве, о Пентагоне и об угрозе новой войны. Не дрожать, не опускать головы. Ради Глики, что может стать моей женой. А может и не стать моей женой, но останется вечной невестой.

В секретариате его даже не заставили ждать, сразу провели в кабинет предсовмина. Маленков сидел за своим столом, заплывшей своей физиономией и круглыми очертаниями похожий на вождя тропического острова Туамоту. Большевистский френч был сильно натянут на животе и слегка засален. Жестом пухлой ладони он отослал всех и показал Смельчакову на кресло.

«Извините, товарищ Смельчаков, что так внезапно отрываю вас от творческой работы, – произнес он своим бесцветным голосом. Желтоватые глаза его не выражали никаких чувств, не было в них и только что произнесенных извинений, не говоря уже о странной сталинской иронии, которая постоянно мерцала в глазах вождя. – У нас тут, понимаете ли, произошло чэпэ. Отправляем сегодня в Париж на сессию Всемирного совета мира очень важную писательскую делегацию. И вот в последний день недуг поразил главу делегации, Александра Александровича Фадеева. М-дас, не в первый раз он нас так подводит. Словом, товарищ Смельчаков, лучшей кандидатурой на роль главы делегации, чем вы, мы сейчас не располагаем».

Это не его фраза, думал потрясенный Кирилл. Он не так говорит. Он повторяет фразу другого человека. Уж не моего ли телефонного собутыльника?

«Кто же входит в эту делегацию, Георгий Максимилианович?» – спросил он.

«Кроме вас, в ней четверо: Симонов, Твардовский, Эренбург и Сурков».

«Позвольте, Георгий Максимилианович, но как я могу быть руководителем таких людей? Ведь они признанные лидеры. Моя позиция в движении за мир гораздо скромнее».

«Не нужно чрезмерно скромничать, товарищ Смельчаков. Вы человек очень большого потенциала. То, что вы уже сделали для борьбы за мир, говорит само за себя. Партия знает вас как предельно преданного бойца».

Как Тезея, уточнил для себя Кирилл. Вождь Туамоту опять повторяет чужие слова. Скорее всего, вождя России. Повторяет, однако, без всякого аппетита.

«В прошлом вас несколько недооценивали, – продолжил Маленков. – Мой предшественник однажды выступил против вашей кандидатуры. – Он заглянул в какую-то лежащую перед ним папочку. – Он сказал, вот дословно: „Товарищ Смельчаков, к сожалению, злоупотребляет алкоголем“. – (Кажется, промелькнула чуточка аппетита – подумал Кирилл). – Однако по нашим данным, – предсовмина перевернул страницу, – это не соответствует действительности».

Возникла пауза. Они смотрели друг на друга. У Маленкова моргнуло правое веко. Человеческая жизнь слишком коротка для людей тотальной власти, подумал Кирилл. Веко снова моргнуло. Или у него тик, или он мне подмигивает.

«Ваша кандидатура утверждена товарищем Сталиным», – наконец произнес Маленков.

«Когда мне нужно ехать?» – спросил Смельчаков.

«Вы едете вместе со всеми. Кажется, сегодня вечером. Обо всех деталях с вами поговорят наши товарищи на третьем этаже. Желаю вам успеха в вашей благородной миссии».

На третьем этаже его ждали Поликарпов из отдела культуры ЦК и Кобулов, помощник Берии. Оказалось, что все члены делегации уже прошли собеседования. В настоящее время они едут в аэропорт. Если он успеет, то полетит вместе со всеми на рейсовом. Если нет, будет отправлен на самолете посла. Паспорт готов, вот получите. Здесь небольшая часть вашего денежного содержания. Основные суммы получите в посольстве.

«На сессии ожидаются очень значительные фигуры, – проскрипел древесноликий Поликарпов. – Ян Дрда, Халдор Лакснесс, Пабло Неруда. Не исключено, что появится даже Хидальго Хидальгес».

«Это еще кто такой?» – поинтересовался новоявленный глава. «Как, вы не знаете Хидальгеса? Вот вам книжка, Кирилл Илларионович. Почитайте в полете. Пламенная душа».

«Кстати, будьте поосторожней со славянами, – посоветовал одутловато недобритый Кобулов. „Почему „кстати“?“ – подумал Кирилл. – Кстати, по нашим раскладкам, Тито задумал массированный десант своей агентуры в Париж. – (Похоже, что он каждую фразу начинает со слова „кстати“, но произносит, как „кэсэтати“.) – Кэсэтати, Смельчаков, вам на фронте или в мирное время никогда не встречался некий Штурман Эштерхази?»

Кирилл не удержался от смеха, вспомнив тигренка. «Смеюсь потому, Амаяк Захарович, что это имя в прошлом мелькало в роли героя анекдотов. Что-то вроде барона Мюнхгаузена. Правда, уже много лет ничего о нем не слышал».

«Было бы хорошо, Смельчаков, если бы вы рассказали пару-другую таких анекдотов в кулуарах конференции, так, кэсэтати. Особенно если с поляками будете обмениваться юмором. Есть предположение, что этот ваш Мюнхгаузен курсирует туда-сюда с чемоданами литературы».

В таком духе жевали всяческий сыскной вздор еще минут тридцать. Кирилл кивал, подхохатывал, демонстрируя относительную независимость главного фаворита, а сам все думал о том, что людям тотальной власти явно не хватает человеческой жизни, чтобы воплотить свою бредовину в реальность. Наконец попрощались. На сборы ему было дано два часа.

Он помчался в чертог. Нужно успеть перехватить Глику, чтобы стереть всю двусмысленность вчерашнего вечера. Она явно ревнует меня к моим лирическим героиням. Надо успеть ей сказать, что все это было в прошлом, что все это было в предвосхищении главной встречи, что новый цикл будет посвящен их вечной любви и тэ дэ, и тэ пэ. Дверь в квартиру Новотканных ему открыла огорченная Нюра. Оказалось, что сегодня все пренебрегли ее хрустящими блинчиками. Молчали за кофием, дулись друг на друга, а потом все разъехались. Он быстро накатал огромными буквами прощальное послание: «Срочно вылетаю с делегацией в Париж, позвоню оттуда, всех люблю, тебя больше всех, твой ВЖ».

По дороге во «Внуково» в цэковской машине он стал вспоминать того, кому, вне всякого сомнения, он был обязан этим новым назначением. Через несколько дней после переезда в высотку, как и тогда на Кузнецком, около трех часов ночи протрещал кремлевский телефонный звонок. Голос, который нельзя было спутать ни с чьим другим, произнес:

«Кирилл, звоню тебе узнать, как, доволен ты новой квартирой?»

«Не то слово, Иосиф-батоно! Просто счастлив», – ответил он, стараясь придать своему сонному голосу некий звенящий колорит.

Сталин удовлетворенно хмыкнул. Потом чем-то тихонько застучал: очевидно, выколачивал трубку. Потом спросил: «Греми» там нашел?»

«Конечно, нашел. Наслаждаюсь, Иосиф-батоно. Бьет любую французскую марку, знаете ли, не говоря уже про „Арарат“. Какой букет, какой благостный жар проходит внутрь! Как будто чья-то дружеская рука проходит внутрь. Наверно, ваша, Иосиф-батоно».

«Почему такая формальность, Кирилл?»

«Не понял, Иосиф-батоно».

«Послушай, Кирилл, тебе хмельноватый друг звонит среди ночи. Не нужно всяких там „вы“. Давай со всякими там „ты“.

«Теперь понял тебя, Иосиф».

«Давай наливай себе, Кирилл! Сколько граммов себе наливаешь?»

«Граммов сто пятьдесят, Иосиф».

«Твое здоровье, Кирилл».

«Твое здоровье, Иосиф».

Говорят, что на Западе есть секс по телефону, подумал Кирилл, а тут вот мы с корифеем всех времен и народов надираемся по телефону. Он не раз признавался себе, что любит вождя с полной искренностью, проще – он его боготворит. Вместе со всеми миллионами он творит из него Бога. И когда Бог будет полностью сотворен, монстр уйдет и возникнет новая религия. Пока что мы с ним надираемся по телефону. Ну как тут обойтись без легкой иронии?

«Как прошло, Кирилл?»

«Птичкой пролетело, Иосиф!»

«Надеюсь, ты не залпами пьешь „Греми“, как все эти наши солдафоны?»

«Иосиф, как мои родители пили „Мартель“, так и я пью несравненный „Греми“. Знаешь, они были людьми той культуры…»

«Кирилл, я все знаю о твоих родителях. Разве ты не знал, что это именно о тебе кем-то была сказана фраза „сын за отца не ответчик“? Скажи мне лучше, ты своими соседями доволен?»

Неужто мне и соседей по его выбору подобрали? Холодок прошел от Волги вдоль позвоночника.

«Очень доволен, Иосиф. Настоящая советская семья».

«В этом никогда не сомневался. И дочкой их Гликерией, как я понимаю, доволен, Кирилл?»

«Ах, Иосиф, Глика – это просто символ нашей молодежи. Иногда мне кажется, что она не ходит, а парит, как радужная дева социализма».

«Неплохо сказано, Кирилл, клянусь нашим Кавказом, ярко сказано. Только ты не очень-то увлекайся символизмом. Вот что я тебе скажу: эта девушка должна стать цветущей матерью Новой фазы».

«Новой фазы, Иосиф?»

«Вот именно, Кирилл. Положи ее к себе в постель и делай с ней детей. Сразу увидишь, что началась Новая фаза нашего счастья».

Кирилл задохнулся, запечатал себе ладонью рот. Неужели он знает даже о нашем завете?

«Ты что молчишь, Кирилл? Может, что-нибудь не так? Может быть, ты что-нибудь неверное замечаешь в этой семье, какие-нибудь признаки титоизма?»

«Что это такое, Иосиф? Я такого термина еще не слышал».

«Налей себе еще сто пятьдесят, Кирилл. Я тебе что-то важное скажу».

«А ты себе уже налил, Иосиф?»

«Как приятно с тобой пить, Кирилл! Ни с кем мне так не приятно пить, как с тобой. Даже с Шостаковичем не так приятно, как с тобой. Итак, я поднимаю свою дозу, и ты поднимай свою дозу! Пьем! А теперь заедаем ломтиком лимона. У тебя там есть лимон?»

Кирилл, не отрывая трубки от уха, побежал на кухню. Хватит ли шнура, чтобы добраться до лимона? Лимона не нашел, откусил от огурца.

«Заел ломтиком лимона, Иосиф».

«Не понимаю, почему вы, русские, так любите огурцы? В них одна вода. Ладно, Кирилл, теперь слушай государственную тайну. В последнее время я повсюду вижу южных славян, Кирилл».

«Как это понять, Иосиф?»

«Как можно этого не понять, Кирилл? Тито повсюду насаждает свою агентуру, смертоносных гайдуков. Я вижу их даже в моей охране. Даже на секретных заводах, глубоко под землей. Придешь в Большой театр, на балет, вдруг в зале по меньшей мере десяток рож с бакенбардами оборачиваются на ложу и смотрят на тебя с гайдучьим вниманием. Уничтожаешь обнаруженных, и тут же появляются другие, в еще большем числе. Он не жалеет людей, кровавая собака!»

«Я просто ошарашен, Иосиф. Ты уничтожаешь этих гайдуков, и тут же появляются новые?»

«Они готовят штурм Кремля, Кирилл. Или Ближней дачи. Ты ведь был у меня на даче, правда, Кирилл Смельчаков?»

«Нет, Иосиф, я никогда не был у тебя на Ближней даче».

«Это плохо, что ты не был в моих жилых местах, Кирилл Смельчаков. Я распоряжался, говорил Власику, чтобы тебя привезли, но ты не появлялся. Я подумал, что ты не хочешь меня навестить. Не хочешь сближаться. Подумал, он ездит за границу, этот Кирилл Смельчаков, читает там всякую гадость про меня. Ты знаешь, там меня диктатором называют. Почему молчишь?»

«Я просто потрясен, Иосиф. Ты для меня не диктатор, а любимый вождь, как для всего советского народа».

«Спасибо тебе, Кирилл Смельчаков. Товарищ Сталин – не диктатор. Товарищ Сталин – вождь. Ты всегда правильное слово находишь! Ты обязательно должен приехать ко мне на Ближнюю дачу. Увидишь собственными глазами. Там, знаешь, между кинозалом и моим кабинетом есть такая идиотская система коридоров, направо, налево, вниз, вверх. Настоящий лабиринт. И на каждом углу стоит энкавэдэшник с оружием. Понимаешь, Кирилл, я им не доверяю. Иду по коридору и думаю: откуда выстрел придет, сзади, или спереди, или сбоку? Киров вот тоже не знал, откуда троцкист налетит. Ты должен приехать и сам увидеть этот лабиринт, Кирилл».

«Знаешь, Иосиф, меня тоже как поэта тревожит тема лабиринта. Я был в знаменитом критском лабиринте, где стоял Минотавр и шел Тезей».

«Значит, ты понимаешь меня, Кирилл! Значит, если титоисты пойдут на штурм, ты примчишься, чтобы возглавить смельчаковцев, нашу последнюю линию обороны?»

«Что ты имеешь в виду, говоря „смельчаковцы“, Иосиф?»

«А вот этого пока я даже тебе не скажу, товарищ Кирилл Смельчаков».

Приблизительно в этом месте диалог прекратился. Кирилл погасил лампу и долго лежал в темноте. Что происходит с ним, с этим не-диктатором, с этим вождем? Глухие слухи бродят по Москве о каких-то яростных вспышках, о страшных приказах, о том, что окружение не спешит эти приказы выполнять в промежутках между вспышками, а он о них как-то странно забывает и превращается на пару дней в доброго дедушку. В ужасе кто-нибудь произносит тот старый, еще 1927 года, бехтеревский диагноз, и после этого тот, кто произнес, почти немедленно исчезает. Что будет с Союзом Республик, думает Кирилл немного в платоновском ключе и покрывается каким-то мочевым потом, сродни тому, что появлялся, когда танки противника прорывали оборону. Он осознает, что в твердыне социализма не сформировалась еще каста царей-философов и что правит не царь, не философ, но всего лишь один-единственный больной человек; не диктатор, вождь…

Он поднялся с ложа и отдернул шторы. В ночи открылся головокружительный вид на покрытую лунным светом Москву. Темный Кремль был виден как на ладони. Светилось там только одно окно, о котором спето столько песен акынами Советского Союза. Вдруг он почувствовал чье-то присутствие у себя за спиной. Резко обернулся. Во мраке комнаты, чернея антрацитовой чернью, стоял бык Минотавр.

Во «Внукове» ему пришлось бежать через летное поле. ИЛ-14 уже раскручивал два своих пропеллера, но дверь еще была открыта. Те, кто бежал вместе с ним, особисты, погнали назад уже было отъехавший трап. Успел! Делегация, четверо знаменитых, сидела в первом ряду. Из них только Эренбург был тверез, читал «Юманите». Симонов, Сурков и Твардовский приканчивали неизвестно какую по счету бутылку «Греми». Значит, не только я отступился от «Арарата», подумал Кирилл. «Старрык! – раскрыл ему объятия Симонов. – Ты знаешь, что мы тезки? Ведь я тоже Кыррыл, только скррываю, старрык, не раскррываю скобки!» Эту «тайну» Симонов рассказывал Смельчакову уже сто раз и всегда вот в эдакой разудалой гррассирровке. Все были в превосходном настроении, а в каком еще, старрыки, можно быть настроении, вылетая из Москвы в Париж! Устаканили еще одну бутылку. Сурков читал свои столь популярные в богемных кругах столицы «ловушки».

- Стиль «баттерфляй» на водной глади
- Нам демонстрируют три девы.
- Плывут направо и налево,
- На нас задорным взглядом глядя.

Все бурно хохотали, только Эренбург улыбался тонко, толстую желтую курил сигарету «Ле бояр» и попивал коньяк маленькими глотками в манере Кирилловых родителей, о которых все знает друг Иосиф.

Потом и панславяне угомонились, и каждый остался сам по себе, в кресле с ремнем безопасности и с пакетиком для блевания на всякий случай. Самолет шел через облачный фронт, часто проваливался в «ямы». Лучшее дело в таких полетах – заснуть, либо на дне «ямы», либо над ней. Знаменитости уже подсвистывали честолюбивыми носами, включая и крохотульку

здоровенного Твардовского. Кирилл в дремоте, в расплывчатом состоянии вспоминал последний, то есть третий по счету, телефонный разговор с ночным Иосифом.

«Кирилл, прости за назойливость, это Иосиф. Послушай, я хотел тебя спросить: ты в Югославии ведь, кажется, бывал? Какого ты мнения о них?»

«Прости, Иосиф, о ком?»

«О всех этих сербах, хорватах, словенцах, что ли, боснийцах, македонцах, кто там еще, а главное – о руководстве. С кем ты там встречался, назови по именам».

«Дай подумать, Иосиф».

В паузе на обдумывание Кирилл уловил какой-то странный хмычок Сталина, как будто тот был удивлен, что кто-то так запросто называет его Иосифом.

«Я там первый раз был еще корреспондентом в конце сорок третьего, на партизанских базах. Познакомился с самыми главными, с Тито, с Ранковичем, с Джиласом, с Карделем, кто еще, ах да, Моше Пиаде. Они тогда праздновали победу над четниками, собрали всех своих комкоров, веселились, пели наши песни…»

«Какие наши песни, вы запомнили?» – с неожиданной сухостью перебил Сталин.

«Ну вот например: „Эй, комроты, даешь пулеметы! Даешь батарею, чтоб было веселее!“

«Вот военщина, – усмехнулся Сталин. – Ну а в мирное время вы с ними общались?»

«В мирное время я был там с делегацией в сорок седьмом году, незадолго до того, как отношения испортились».

«Не по нашей вине», – быстро сказал Сталин.

«Конечно, не по нашей. Нашу делегацию принимали совсем на другом уровне. Тито был недосягаем. Нас принимал Коча Попович, потом председатель их Госплана Андрия Хебранг, кроме того, Сретен Жуйович, а также молодой писатель из партизан Младен Оляча…»

«Немало, немало, – пробормотал Сталин. – Ну что скажете об этих людях?»

«Трудно сказать что-нибудь определенное, Иосиф. Мне кажется им было как-то неловко принимать нас с такой прохладцей, с такой как бы неполной искренностью. Ведь еще вчера, Иосиф, они на нас равнялись».

«А почему, товарищ, вы меня так запросто называете Иосифом? – с нарастающей свирепостью вопросил Сталин. – Мы что, на брудершафт с вами пили?»

Кирилл испытал неожиданное головокружение, хотел было положить телефонную трубку, но потом, сообразив, что одно лишь неверное движение отделяет его от полной катастрофы, бросился головой вперед. «А разве не пили, Иосиф? Разве не мне ты посылал ящик „Греми“? Разве не Кириллом ты меня называешь? Разве мы не два слегка хмельноватых друга, Иосиф?»

На другом конце провода, то есть на расстоянии не более полутора километров по прямой, то есть не более нескольких минут полета на планере (вдруг вкралось – «на планере с бомбой»), там, на другом конце, послышалось что-то вроде кудахтанья.

«Смельч… Смельч… Это ты, Кирилл-дружище… Прости, что-то я зарапортовался… Весь день телефоны, курьеры… сотни курьеров, бессчетные телефоны… Ну давай нальем, генацвале! Будь здоров, герой нашего времени!»

Чокнулись через Зарядье. Сразу восстановилась близкая дружба слегка чуть-чуть хмельноватых друзей.

«Тут возникла мысль, Кирилл, слегка чуть-чуть опередить ревизиониста Тито. У нас есть некоторое преимущество. Мы знаем, что он нам готовит, а он не знает, что мы ему готовим, потому что мы пока не готовим ничего. Понимаешь? А что, если что-нибудь быстренько для него подготовить и таким образом его опередить? Что ты думаешь по этому поводу?»

«Иосиф, ведь ты знаешь, что я всего лишь поэт. Вряд ли я могу быть экспертом в большой политике».

«Послушай, Кирилл, насколько я знаю, ты не только поэт, ты еще и солдат, не так ли?»

«Значит, ты знаешь, Иосиф, что я состою в резерве ГРУ?»

«Как я могу этого не знать, Кирилл? Надеюсь, ты понимаешь, что я не могу этого не знать. Вот именно поэтому и обращаюсь к тебе как к своему самому надежному резерву».

«Слушаю тебя, Иосиф».

«Вот, Кирилл, возникла такая неплохая, как мне кажется, идея атаковать остров Бриони, когда там соберется вся клика выродков революции. Согласен ты возглавить передовой отряд смельчаковцев?»

Сейчас, качаясь вместе с самолетом вверх и вниз, Кирилл отчетливо вспомнил эти слова Сталина. В то же время он подумал: а не звучат ли они во сне? – и понял, что засыпает. Было ли так, что я строевым шагом прошагал по проходу между кресел в хвост самолета, к туалету, то есть в задний проход? Я открываю дверцу чуланчика и вижу там сидящего на унитазе Иосифа. Вижу это во сне или вспоминаю? «Готов выполнить любой приказ родины, Иосиф! – сказал я тогда по телефону. – Как я могу не выполнить приказ Верховного Главкома, Иосиф?» По телефону или во сне? И добавляю: «Прошу, однако, посвятить меня в верховную цель экспедиции». Кажется, не совсем так было сказано по телефону, частично этот запрос произносится во сне. Сталин поднимает указательный палец, похожий на корень женьшень. «Устранив из биологической жизни Тито и его биологическую клику, мы займемся грандиозной задачей переселения народов. Хорватов отправим в Казахстан; уверен, заживут привольно на просторах. Сербов будет приветствовать Украина золотая. Татары казанские потеснят боснийцев. Народам вредно засиживаться на одном месте, Кирилл. Тысячелетие просидел – и достаточно. Отправляйтесь к новым горизонтам! Теряйте слабых, укрепляйтесь сильными! На политической карте мира возникнет новая формация рабочих и крестьян!»

Этот Иосиф, думал Кирилл, да ведь это настоящий темный демиург человечества; демиург, который метит в боги. Теперь они вдвоем вроде бы сидели на крыле самолета, подлетающего сквозь тяжелый циклон к Парижу. «Это что же, Иосиф, продолжение перманентной революции иудушки Троцкого?» – осторожно спросил Кирилл. Сталин заливисто рассмеялся, сущий ленинец. «Это у него она называлась перманентной завитушкой, а мы назовем ее победоносной!»

Кучевые облака перед ними стали сгущаться так, как это иной раз бывает во сне. Сгусток сей вдруг принял очертания некоего раздутого, с многочисленными перетяжками, существа сродни рекламе французских шин «Мишлен».

«Кто вы такой?» – сурово спросил Сталин.

Существо гулко рассмеялось. «Меня многие знают среди руководства, товарищ Сталин. Кирилл Смельчаков, не притворяйтесь, ведь вы меня знаете. Я Штурман Эштерхази».

«Я знал вас с младых когтей как тигренка», – проговорил с некоторым ужасом Кирилл.

«Тоже скажете! – еще пуще развеселилось существо. – Вот так и распространяются обо мне нелепые сплетни. – Он вытащил из какой-то своей складки микрофон и сделал объявление: – Товарищи пассажиры, просим вас занять свои места и пристегнуться. Через десять минут мы совершим посадку в аэропорту Бурже».

Кирилл проснулся.

Новое поколение

У читателя может сложиться впечатление, что Глику Новотканную постоянно сопровождает хорошая погода. Продолжайте оставаться в этом великолепном заблуждении, мой друг. Ведь даже и мокрый апрель иной раз предлагает сюрпризы, возникают своего рода оазисы солнечного света, интенсивно-синего неба, вдохновляющих бризов; температура зашкаливает за двадцать градусов по Цельсию. В один из таких дней, оставшись одна в квартире, девушка примеряла мамины платья. Особенно понравился забытый уже родительницей набор тридцатых годов: маркизетовое васильковое платьице, высоко приталенное, с буфиками на плечах, беретик а ля бульвар, модельные лодочки, белые носочки и, наконец, самое сногсшибательное – белые фильдеперсовые перчаточки! Отражение в зеркале получилось неотразимым. Вот в таком виде и отправлюсь гулять; пусть все это племя трепещет!

Ах, эта Глика, думаю я сейчас, внедряя в компьютер эти строки. Ведь она была моей ровесницей, минус десять месяцев. Мне кажется, что я ее тогда встречал. Вот шляюсь я в 1952-м таким мрачневским чайльд-гарольдом вокруг высотного дома, саркастически наблюдаю все эти гранитные фигуры, колоннады и башенки с шишечками. Презираю от всей молодой души стиль и роскошь сталинской аристократии. Интересно, что выступаю здесь как представитель какого-то

другого стиля, а вовсе не человек нищеты. Между тем в жизни я пока что не видел ничего, кроме отвратительного прозябания: в Казани жил в переполненной коммуналке и спал на раскладушке под столом, в коммуналке, где туалет был захавожен и разрушен еще во вторую пятилетку и ходили все во двор, в деревянный сарайчик, в котором зимой над очком намерзала такая пирамидка нечистот, что уже и не пристроишься. А в Магадане с мамой жили вообще в завальном бараке, пропахшем тюленьим жиром. Правда, гальюн был внутри.

Откуда же взялось у таких окологулаговских пацанов байроническое презрение к советскому стилю? Позднее, когда мне уже исполнилось сорок молодых, я размышлял о загадках этой эстетики. Однажды в сибирском городке науки на пустыре выросла монументальная проходная с лепными гирляндами фруктов и триумфальные ворота чугунного литья с вензелями и золочеными пиками. Молодые лирики-физики возмутились. Что за отрыжка архизлишеств, что за Яузская набережная?! В печку эти ворота, у которых, кстати, и забора-то еще нет, а из чугуна отольем этиловую молекулу в стиле Генри Мура! И тут академик Великий-Салазкин тихим голосом возразил: «А я бы на вашем месте, киты, оставил бы эту титаническую архитектуру как память о середине Ха-Ха, то есть двадцатого века».

И впрямь, вот пролетели от «середины Ха-Ха» уже десятилетия, и кто может себе представить Москву-Кву-Кву без ее семи высоток, без этих аляпок, без этих чудищ, без этой кондитерской гипертрофии?.. Подхожу я к какому-нибудь высоко-генеральскому дому с козьими рогами на карнизе, с кремом по фасаду, с черномраморными вазонами, которые когда-то так горячо презирал всеми фибрами молодой футуристической души, и вдруг чувствую необъяснимое волнение. Ведь это молодость моя шлялась здесь и накручивала телефоны-автоматы по всей округе, ведь это наши мечтательные девушки росли в этих домах; и презрение вдруг перерастает в приязнь.

В тот апрельский погожий день я шлялся вокруг высотного дома вовсе не по байроническим, а, напротив, сугубо по практическим соображениям. Некий Юрка Дондерон должен был у меня забрать пакет рентгеновских снимков, который я, студент-медик, безнаказанно изъял из захламленного подвала клиники Казанского меда. Этот Юрий наладил у себя в комнате студию звукозаписи джазового материала. Сын каких-то выдающихся родителей, он обладал «автономным», как он выражался, помещением, в котором стоял «колоссальный», как он выражался, радиоприемник «Телефункен» с «потрясным», как мы оба выражались, коротковолновым диапазоном. В качестве гонорара мне полагался «рентгеновский» диск с песенкой Армстронга «Oh, when the saints go marching in».

Итак, мы стояли с ним на ступенях центрального входа и напевали друг другу разные фразы из подцепленных где-то и полностью отвергнутых нашей страной джазовых мелодий: Армстронг, Вуди Герман, Гленн Миллер, Дюк Эллингтон. Притоптывали подошвами под подозрительными взглядами проходящих жильцов. Завелись по-страшному, как вдруг отъехала многопудоводубовая дверь и из подъезда выпорхнула какая-то умопомрачительная в своей красе девица нашего возраста. Я стоял лицом к подъезду и потому увидел ее прежде, чем Юра. Что-то такое, видимо, очень сильное, отразилось на моем лице. Он так резко обернулся, что правая нога у него вроде бы обломилась.

«Привет, Дондерон!» – бросила ему девица, пролетая мимо.

«Глика, подожди!» – крикнул он и устремился вслед за ней, полностью забыв о поставщике звукозаписывающего материала.

Я смотрел им вслед, вернее, ей вслед, Дондерон фигурировал в поле зрения лишь как досадная помеха. С тоской я думал о том, что эта «девушка моей мечты» уж больше мне никогда не встретится. Мог ли я предположить, что она станет моей звездой?!

«Ты не поверишь, Юра, я так люблю наш дом, что мне даже становится не по себе, когда он исчезает с горизонта», – сказала Глика юному Дондерону. Они стояли на горбу Большого Устьинского моста через Москву-реку. Громадина высотки не выказывала никаких побуждений исчезнуть с горизонта. Напротив, она закрывала собой все северо-восточные склоны московского небосвода. Из-под Малого моста, как будто прямо из-под титанического чертога, вытекала река Яуза. Большая набережная малым горбом перекатывалась через малую реку. По ней нередко проезжали машины: то стайка горбатых «Побед», то одинокий «Москвич», то троллейбус № 16, а то и бронированный «Паккард», за толстенным стеклом которого на луноподобной физиономии

мечтательно поблескивало пенсне. По правую же сторону от стоящих юношей, на противоположном берегу Москвы-реки, с удивительной стойкостью переживал опалу конструктивистский шедевр Института стали и сплавов, а также зижделся большущий, хоть и не сравнимый с яузским чертогом, жилой дом темно-терракотового цвета. Эти жилые дома весьма приличного качества в народе называли «генеральскими», однако вот этот, терракотовый, помимо качества, нес на себе еще какую-то архитектурную мечту, а именно некую надкрышную колоннаду, увенчанную к тому же павильоном-беседкой, да еще и с устремленным вверх шпилем. Глике Новотканной нравилось объединять свой чертог и близкий заречный дом в одну будущую неоплатоновскую агору. Нет, у нее не было ни малейшего желания покидать эти места в отличие от тех борцов за мир, что только и помышляют схватить полупустой чемодан и отчалить за границу.

«Вообще-то недурна наша избушка, – согласился Дондерон, – хотя до Эмпайр Стэйт Билдинга ей еще расти и расти».

Глика покосилась на него и прыснула: юнец не спускал с нее влюбленного взгляда, к тому же все время гудел себе под нос что-то джазовое; очевидно, боролся с волнением.

«Ты слышала, Глика, такую песенку про Эмпайр:

- Забрались мы на сто второй этаж,
- Там буги-вуги лабает джаз?

Тут у нас на факультетском вечере Тимка Гребцов рванул эту штуку своим баритоном. Шороху было!»

Глика повернулась к нему. Вездесущий в устье Яузы ветер немедленно облепил маркизетом ее удивительную фигуру. Юра заметно содрогнулся.

«Я вижу, Юрка, ты плотно вошел в компанию стиляг, – проговорила она, однако не с осуждением, а с некоторой заинтригованностью. – Все эти тимки, бобки, ренатки, гарики… Это правда, что вы отчаянные пожиратели сердец?»

«Мы просто джазом все увлекаемся, – сказал он и положил ей руку на бедро; она не сбросила руки. – Знаешь, Глик, я во всем согласен с классиком соцреализма: если враг не сдается, его, в натуре, уничтожают, и только в одном ставлю его мудрость под вопрос. Он сказал: „Джаз – это музыка толстых“, а джаз, как раз наоборот, – музыка худых. Слышала вот такую штучку: „Это песенка кварталов запыленных, это песенка голодных и влюбленных“? – Он чуть придвинулся к ней, и она не отодвинулась. – Вот где началась эта музыка, понимаешь?» Она отвернулась от него, но так, что их бедра соприкоснулись.

«Как ослепительно сверкает река! – воскликнула она. Положила обе руки на затылок и потянулась. – Сейчас бы стащить платье и спрыгнуть в воду!» Он схватил ее обеими руками за талию: «Не пущу!» Она не освободилась. «Ну а ты ради меня спрыгнул бы с моста?»

«Только скажи, в ту же секунду», – внезапно охрипшим голосом проговорил он. Жалко только гэдэ, подумал он и стал уже вылезать из своих башмаков с толстенной, в три пальца, каучуковой подошвой, за которыми недавно ездил в Ригу. Она рассмеялась и выскочила из его объятий. «Ты с ума сошел, Юрка! Пойдем лучше к тебе, я хочу послушать твой джаз».

На обратном пути к дому они молчали и только иногда посматривали друг на дружку. Вот так я отвечу на равнодушие Смельчакова, думала она. На его подлые отписки. Люблю вас всех, особенно тебя, мой ВЖ! Хватит, пора с этим кончать. Пусть вот этот мальчик меня первым возьмет, Юрка Дондерон! Стиляга-сердцеед…

Неужели она действительно пойдет ко мне, на «автономную территорию», думал Юрка. Ведь у нее в любовниках сам Смельчаков. Уж он-то наверняка развратил ее до предела. Впрочем, он, кажется, куда-то уехал. Ну, конечно, его здесь сейчас нет, вот поэтому она и идет ко мне, эта красавица, развращенная до предела.

Все складывалось очень удачно. Родители Дондероны уехали в Кисловодск вместе со спецбуфетчиком Дорофеем. Доберман-пинчер Дюк вместо предписанной его роду свирепости предложил гостье исключительную нежность. Он прыгал вокруг, приглашал играть, трогал ее лапой, клал голову на колено. Юрка в конце концов вытащил его с «автономной территории» и закрыл дверь. Последующая сцена проходила под аккомпанемент жалобного скулежа этого грозного пса.

Очень долго они целовались, стоя посредине комнаты. По сути дела, это был первый поцелуйный шквал в ее жизни. Кирилла никогда не допускали до такой целовальной вакханалии. Иной раз тому удавалось сорвать один-два поцелуя, однако желанные губы тут же от него отстранялись и надувались в обиде: не будучи актами совокупления, телесные поцелуи все-таки были чужды высокой любви и небесной помолвке. Юрочка Дондерон явно обладал солидным опытом в области поцелуев. Он, например, умел глубоко, чуть ли не до глотки, проталкивать в ротовую полость партнерши свой язык. Временами он сопровождал это проталкивание попытками протиснуть свою коленку меж ее ног. В эти моменты он начинал дрожать и слегка отстранялся. Потом поцелуи возобновлялись. В конце концов она почувствовала отвращение, хотя ничего отвратительного не было ни в свежих губах, ни в языке юного сердцееда. Она подумала, что есть что-то механистическое в этих бесконечных поцелуях. Они невыгодно отличались от мимолетных поцелуев ВЖ с их почти неотвратимой чувственностью.

Нужно все перенести в другую плоскость, показать ему мое желание, подумала она. С решимостью Жанны д'Арк она стащила через голову платье и подставила ему спину, чтобы расстегнул лифчик. Он схватил ее груди и стал их мять. Ну перестань, без всякой нежности сказала она и стала закрывать груди ладонями. Оставшись в одних панталончиках по колено – для полноты картины мы должны все-таки добавить, и в носочках, а также, для усугубления реализма, не забудем и беретика а ля бульвар, – она стала от него отпрыгивать, отбегать, и он тогда, как безумный, начал ее гнать по комнате – падали этажерки, путались в ногах шнуры, вдруг заиграла радиола, You are my destiny, you are my revery – пока не повалил наконец на свое широкое низкое ложе, на коем побывали до нее, и не раз, и Дина Дурбин, и Соня Хенни, и Сара Леандр, и Дженнет Макдоналд.

Ну все, момент настал, подумала она и закинула руки за голову. И даже начала немного раздвигать колени. Пусть протискивается, пусть внедряется, пусть делает, что хочет, со своей штукой, которая, то есть который, так настойчиво упирается мне в пупок. Он лежал на ней и был уже готов распоясать весь свой поддон, когда предательская мысль пришла ему в голову: а вдруг она, с ее опытом, найдет там совсем не то, на что рассчитывала? Тогда он стал бессмысленно, хаотично тянуть ее панталончики и в конце концов весь отдался позорному извержению, рычал и стонал и наконец отвалился в сторону, лицом в свои заскорузлые простыни и затих. Невероятный запах залепил ее ноздри, боги Олимпа, совершенно невероятный, ужасный и желанный!

Минут через пять она спросила:

«Ты жив?»

«Не очень», – ответил он.

Еще через пять минут последовал новый вопрос:

«А здорово получилось, правда?»

«Издеваешься?» – ответил он вопросом на вопрос.

«С какой стати? – проговорила она и погладила его по набриолиненной макушке. – Ты так здорово излился, Дондерончик! Видишь, я вся измазалась твоей секрецией!» Села и прислонилась спиной к стене. Между нами говоря, любезный читатель, она испытывала ранее неведомый подъем. В ходе этой, столь продолжительной возни, погони и ловли, хватания за нежные части тела, а также давления сверху она несколько раз почувствовала что-то похожее на сладкие сновидения или на полусновидения, сопровождаемые трепетом собственной правой руки в своем заповедном треугольнике, и теперь, после первого в жизни трепета с партнером, с этим красивым мальчишкой, ей казалось, что она уже приобщилась к миру большой эротики. Слово «секс», читатель, было тогда неведомо советскому населению.

Юрка боялся шевельнуться, чтоб не расхлюпаться. Все же он выпростал левый глаз из расплющенной подушки и посмотрел снизу вверх на сидящую Глику.

«Я обожаю тебя».

Она рассмеялась: «В каком смысле?» И положила обе ноги ему на спину.

«Во всех смыслах! – Он осмелел и повернулся на бок. Обожествленные ноги оказались теперь у него на боку. – Глик, ты уж прости, что я так облажался. Первая встреча, знаешь ли».

Она продолжала смеяться: «В каком-то смысле ты меня почти лишил невинности, Юрк!»

Он ахнул: «Я? Тебя? Почти? Лишил невинности? Да ведь это я мечтал с тобой лишиться невинности!» Тут оба они расхохотались и принялись друг другу давать подзатыльники, лупить пятками и возиться, как пара котят.

Когда угомонились, он ее все-таки спросил:

«А как же Кирилл-то Смельчаков? Разве вы не любовники?»

«Да ты что, Дондерон-охламон? – возмутилась она. – Да ведь он почти ровесник моей мамы! Он просто оказался нашим соседом – вот и все. Интересный такой человек, поэт, борец за мир. Вот мы с тобой лижемся, изливаемся, а он в это время в Париже дает отпор врагам нашей весны человечества!»

Потом они оделись, выпили из дондероновского буфета по рюмке бенедиктина, закурили по болгарской сигарете «Джебел», послушали пластинку Фрэнка Синатры:

- Over and over
- I keep going over
- The world we knew,
- The days when you
- Used to love me…

Этот язык они оба знали, поскольку воспитывались в академической среде. А вот певца со столь мужественным и чувственным баритоном Глика слушала впервые. Никогда она не могла вообразить, что ее так глубоко захватит американская романтика. Ей даже казалось, что она уже чувствовала что-то подобное в каком-то своем то ли сне, то ли полусне. Любовь заполнила все ее существо, но к кому – она не могла еще понять: то ли к этому смешному мальчику, который так трогательно, как он говорит, «облажался», то ли к своему «вечному жениху», этому жесткому рыцарю какой-то неведомой «звезды-надежды», к Тезею, как оказалось, а не Лоэнгрину.

«Вот ты сказал „облажался“. Это по-каковски?» – спросила девушка на прощанье.

«Это по-лабушски», – пояснил юноша.

«А это по-каковски?»

«Это по-нашему».

Все, словом, прошло чудесно. Оба были рады тому, что между ними возникла удивительная откровенность. Со счастливым замиранием они предвкушали будущие встречи и не знали, что вскоре их возьмет в свои наждачные руки почти невыносимая тоска.

Что касается меня, ну того юнца, который притащил Дондерону пакет рентгеновских снимков для дальнейшего расширения производства «джаза на костях», то я долго не мог забыть пролетевшей мимо меня сверкающей девушки. Несколько раз я звонил Юрке, подолгу болтал с ним о джазе, напевал выхваченные из эфира ритмы и все ждал, что он упомянет среди этой болтовни хотя бы просто имя своей девчонки, за которой он так стремительно тогда помчался. Однажды я даже понес какую-то ахинею о девушках: дескать, странно как-то получается с женским полом среди современной молодежи: почему они в основном какие-то индифферентные, то есть мало торчат на джазе? Все было тщетно. В ответ на мои фальшивые вздохи Дондерон только хохотнул: «Ну что ты хочешь от этих дунек-с-трудоднями?»

Должен признаться, несколько раз я выгружался с «Таганской-кольцевой» и двигался вниз по Радищева к исполинскому торту с башенками в надежде натолкнуться на «безымянное чудо природы», как я в уме величал ту девчонку. Приблизившись к исполину, проникал во дворы и вроде бы спешил псевдоделовой походкой к центральному выходу, откуда тогда вспорхнуло «б.ч.п.»? Из многочисленных подъездов мильтоны, охраняющие покой своих высокопоставленных хмырей, провожали меня подозрительными взглядами. Все было тщетно, она ни разу не промелькнула.

Таинства Первомая

Тут подошел Первомай, праздник международной солидарности трудящихся. Дондерон вдруг ни с того ни с сего пригласил меня принять участие в колоссальной вечеринке у него «на хате». Не пожалеешь, олдбой, предков не будет, а кадры будут. Давай, пристраивайся на Моховой к колонне Университета, протопаем все вместе по Красной, а потом, за Базилем Блаженным,

свернем на набережную и прямиком дунем к моей избушке. Откроем сразу «Бал дровосеков»! Тудудурурурурурурру, тудудурурурурурурру, тудудудудрурурру, бдаааааам!

Ну вот тут-то уж я ее обязательно увижу! Уж наверняка она там окажется! Уж если Юрка так за ней бегал по улице, то все же наверняка ведь пригласит к себе «на хату»! И она наверняка все-таки придет, ведь все-таки международный праздник солидарности, эту песню не задушишь, не убьешь все-таки! Представляю, как она будет выделяться среди «дунек-то-с-трудоднями»! И вот тут к ней некто из низшей касты, но все-таки чем-то привлекательный молодой человек подгребет, то есть я. Ну, конечно, совсем не обязательно отбивать ее сразу у Дондерона. Можно дружить втроем. Дать этому «безымянному чуду природы» возможность выбрать; ну в общем!

В назначенный час я подошел к Ломоносову, что возле старого здания МГУ. Там уже толклась огромная толпа демонстрантов. Распределялись плакаты и транспаранты. Я стал там среди всех толкаться и вскоре заметил Дондерона с друзьями; сразу понял, что это наши, джазовый народ. Знакомьтесь, мальчики, запросто так представил меня Юрка, это Так Таковский, наш парень из Казани. Ребята были разнокалиберные, но всех роднили отменные причесочки с пробором; и где они так клево стригутся? Все стали меня приветствовать: кто по плечу хлопнет, кто по заднице, кто просто руку пожмет; Тим Гребцов, Боб Ров, Ренат Шайтан, Гарик Шпиль, Мома Зарич, Анджей Плиска, Кот Волков, Юз Калошин. Народ вокруг на нас поглядывал; ну просто сценка из фильма!

Стали распределять наглядную агитацию. Дондерон и Гребцов взялись с двух сторон нести портрет Лаврентия Павловича Берии, а меня приспособили тащить сзади заднюю палку портрета для поддержания равновесия. Мома и Анджей как представители народных демократий растянули лозунг: «Позор ревизионистской клике Тито-Ранковича!» Гарик и Ренат колбасились с гитарами и пели песни демократической молодежи в джазовой интерпретации.

- Однажды забастовку мы затеяли опять,
- Один лишь только Кей Си Джонс не хочет бастовать…
- Кей Си Джонс карабкался на небо,
- Кей Си Джонс работает в аду!
- Кей Си Джонс жалеет, что был «скэбом»,
- И просит всех штрейкбрехеров иметь в виду!

Наконец, вся огромная толпа стала вытекать на Манежную площадь и медленно двигаться в сторону Красной.

Играли оркестры. Народ кружил в хороводах, увлекался и индивидуальным переплясом. Над головами плыло несметное количество вождей. Я видел их сзади, то есть через ткань плакатов. Множество таких же, как я, энтузиастов балансировали сзади, то есть поддерживали их несуществующие спины длинными палками. Кто-то из новых друзей протянул мне бутылочку «Зверобоя». Я сделал пару глотков, после чего преисполнился добрейшими и даже несколько вдохновенными чувствами в адрес всей этой несусветной демонстрации. Особенно мне нравился студенческий хор народной песни. Развевались платки и юбки с вышивкой, звенело черт знает что, мониста, что ли, с неподдельной резкой дикостью звучали голоса.

- Ой медведь ты мой медведь,
- Птаха многоцветная!
- Как нам радостно воспеть
- Ту мечту заветную!

или

- Расцветай, народный труд
- Пастухов Абхазии!
- Про тебя в горах поют,
- Штурман Эштерхази!

В этом роде.

Вдруг я заметил в голове колонны девичий затылок с удивительной золотой косой. Едва лишь я выделил этот затылок из многих тысяч других, как вся девушка повернулась к нам, продолжая пятками вперед продвигаться к Красной. Над собой она несла небольшой элегантный портрет Иосифа Сталина. Глаза ее сияли, и этими сияющими глазами она вроде вглядывалась в хвост колонны, где косолапила вся наша группа. Я понял, что это Она. Та самая! Безымянное Чудо Природы! Рядом со мной выкаблучивал Гарик Шпиль, и я его спросил, не знает ли он, как зовут

вон ту чувиху со Сталиным. Гарик весело раскукарекался: «Да кто ее не знает, это же Глика Новотканная! Только ты, Такович, лучше там не возникай: в первых рядах наши комсомольские лидеры выстроились». Глика! Новотканная! Что за божественное имя! Она махнула кому-то рукой – похоже, Дондерону, не мне же – и вернулась в свою позицию торжественного шествия вперед, то есть пятки вслед за пальцами стопы. Черты ее прежде мной уже замеченной, неповторимой спины были на этот раз скрыты жакеткой, однако и сквозь жакетку они угадывались, и я просто-напросто влюбился в эти черты, как в древние времена Эол влюбился в Психею, – со спины.

Наша колонна тем временем уже вливалась на Красную. Вся огромная площадь была заполнена шествием, исполненным любви к Мавзолею. Мы оказались на левом фланге, ближе к ГУМу. Отсюда, из-за бесчисленных голов, нельзя было разглядеть лиц на верховной трибуне, которым мы должны были салютовать, что мы и делали. Длинный ряд вождей, осеняющих площадь своими дланями, выглядел собранием темных, черных или коричневых пятнышек, и только в центре светилась ярко-серая шинель Сталина. «Отличная мишень», – вдруг подумалось мне, и от неожиданности и от полной несусветности этой мысли я наполнился каким-то трепетом и звоном, как будто только что спустил курок.

Мысль об уязвимости гада и о теоретической возможности его уязвить была такой всепоглощающей, что я не мог больше ни о чем подумать в те несколько минут, пока мы шли мимо Мавзолея. Только уже на подходе к Базилю Блаженному я вспомнил о Глике Новотканной. Хорошо бы с ней именно в этот день познакомиться. В этот торжественный день.

Я впервые посетил пятикомнатную квартиру Дондеронов, огромное запущенное помещение со следами чего-то похожего на дебош. Юрка всем показывал телеграмму. Оказывается, через день должны вернуться его родители после трех недель отдыха под ласковым балдохо Юга, говоря на старой фене. Так что, чуваки, прошу всех быть в форме, не риголеттить и не сурлять. Несмотря на новую феню в голосе его слышалась мольба. Славный мальчик: три недели живет один в такой кубоквадратуре, где можно было бы расселить всю нашу коммуналку, и все-таки недостаточно счастлив.

Когда я вошел в гостиную, там уже танцевали буги-вуги. Особенно старался юнец в штанах с подтяжками и в ярчайших носках, высовывающихся из-под оных штанов. Позднее выяснилось, что это сын нашего посла в Соединенных Штатах. Он только что вернулся из этой страны, где научился оригинальному стилю и теперь как бы предлагал равняться на него. Ну и все равнялись, особенно две сестренки Нэплоше. Позднее вообще выяснилось, что больше половины гостей были детьми правящего класса: сын маршала, дочь генерала, любимый племянник начальника суперглавка и тому подобные.

Народу все прибавлялось. Я, конечно, внимательно вглядывался в женский контингент. Я не понимал, что имел в виду Юрка Дондерон, когда однажды назвал современных девчонок «дуньками-с-трудоднями». Те, что заполняли его квартиру и взвизгивали под ритм Вуди Германа, были очень стильными, почти вровень с кадрами, собиравшимися на танцевальных вечерах в Казанском доме ученых, где играет наша гордость, джазок «малых шанхайцев». Увы, Глики Новотканной среди них не было.

Я выбрался из гостиной и вошел в кабинет, где светилась только пара неярких настольных ламп. Там тоже была публика, и сквозь эту публику я увидел сидящую с ногами на подоконнике Глику. Рядом с ней стоял Дондерон. Ну надо решиться, иначе упущу и этот шанс. Я направился к ним и поймал конец фразы, произнесенной Юркой: «…надеюсь, ты все-таки останешься?» Она не отвечала и смотрела в окно. Боже мой, как бы я хотел задать ей такой же драматический вопрос! Пусть не отвечает, пусть смотрит в окно, я постою-постою и еще какой-нибудь ей задам вопрос, менее драматический, в легком таком жанре, чтобы улыбнулась.

Кто-то позвал хозяина из глубины этого дондероновского капища. Он пошел на зов, а меня, кажется, даже не заметил. Неожиданно мы оказались вдвоем с Гликой Новотканной. Теперь вперед, не упускать шанса.

«Я тебя видел сегодня на демонстрации, – сказал я. – Ты Сталина несла, Иосифа Виссарионовича».

Она даже вздрогнула от этого обращения. Отвлеклась от окна и повернулась ко мне.

«Простите, я вас не знаю, – сказала она милейшим тоном. – С кем имею честь?»

Я представился: дескать, Такой-то из Казани, по фамилии Таковский. Признаться, у меня сводило кишки от некоторой трусости. Ну и ну, засмеялась она. Значит вы, Такой-то товарищ Таковский из Казани. А я подумала, что из наших стиляг. Я поспешил ее успокоить: нет-нет, я не из тех, я просто поэт. Вот это да, еще один поэт! Трудно сказать, что она имела в виду. Кто еще тут поэт? Докажите, что вы поэт, сочините строфу обо мне! Легче легкого, сказал я и тут же прочел неизвестно откуда взявшееся:

- Глика Новотканная,
- Девка окаянная;
- Демон тела, ангел лика,
- Сногсшибательная Глика!

Добавить еще два децибелла к ее хохоту, и рухнула бы вся эта нерушимая башня соцархитектуры. Она явно заинтересовалась мной, эта нимфа многоэтажия. «Откуда вы взяли эти стихи, товарищ Таковский? А если сами сочинили, то когда? Вообще откуда вы знаете мое имя?» Я ловко подпрыгнул и уселся с ней рядом на подоконник. «Ты что, не понимаешь, что это экспромт?» Она оборвала свой хохот и сердито насупила соболиные брови. «Простите, любезный товарищ, разве вы не знаете, что незнакомые люди обращаются друг к другу на „вы“?»

«Прошу снисхождения, любезная товарка…» – начал было я, но был прерван.

«Как вы меня назвали? Товаркой?!» – вскинулась она.

«Женский род от „товарища“ – это товарка, – с некоторой занудноватостью пояснил я. – Я просто хотел вам сказать, прекрасная Глика, что я ведь не москвич, я из Казанского меда, вот почему не знаю тонкостей столичного этикета».

«Интересно! – вскричала она и даже внимательно заглянула мне в глаза. – Он говорит, что он из Казанского меда, а сам шляется по Москве перед весенней сессией!»

Вдруг меня протрясла какая-то мгновенная дрожь сродни той, что я испытал, вообразив снайперский выстрел в ярко-серое пятно на Мавзолее. Сказать ей все, как есть, или продолжать лукавить? Сказать!

«Видишь ли, меня недавно вышибли из института, вот и приходится околачивать пороги министерства, снисхождения испрашивать».

«Вот это да! – воскликнула она и тут же, даже не заметив, перешла на „ты“. – За что тебя вышибли? За неуспеваемость? Или… ммм… за стихи?»

Далее последовал выстрел в ярко-серое пятно. «За то, что я про родителей не написал в анкете при поступлении».

Она приблизила ко мне овал своего прекрасного лица. Веки ее приспустились, пригасив синее сияние. «А кто твои родители?»

Я пожал плечами. «Ничего особенного. Мать – бывшая заключенная, отбывает вечную ссылку в Магадане. Отец – заключенный в Воркуте».

«Что ты такое говоришь, Таковский? – Веки, ресницы и брови взлетели, однако синева ее глаз больше не напоминала ни Крым, ни Кавказ, а скорее уж застойное небо над вечной мерзлотой Колымы. – Что за бред? Как это может такое быть?! Такого просто быть не может!»

Я стал ладонью как бы тормозить этот поток вопросительных и восклицательных знаков. «Спокойно, спокойно, Глика. Такое бывает. Если ты об этом не знаешь, это еще не значит, что такого не бывает. Вот почему я Таковский. Ты слышала когда-нибудь о „ежовщине“?»

В это время топот танцоров в гостиной прекратился, вернее, сменился массой хаотических звуков и криками: «К столу, ребята! К столу!»

Глика Новотканная спрыгнула с подоконника. «Слышать ничего не хочу о твоей „ежовщине“!» Не глядя на меня, она молниеносно прошла через кабинет и только на пороге гостиной на мгновение остановилась и бросила на меня взгляд через плечо, как будто старалась запомнить. Вот так странно закончилась наша первая встреча.

Я прошел к столу, на котором выставлены были разнокалиберные бутылки, открытые банки консервов, с преобладанием шпрот, грубо нарезанные сыры и колбасы, котел с горячей картошкой, маринованные помидоры, тут же и торты, куски шоколада, конфеты – всего было достаточно, чтобы нажраться и захмелиться; что я и сделал. Рядом со мной оказался немолодой, лет под тридцать, отчасти быковатый парень Света Куккич, беженец из титоистской Югославии. С ним сидела смугловатая дочь румынского посла по имени Анастаса, что ли. Она меня через

мощные плечи Светы то и дело хватала за ухо. Потом Света пошел на рояле играть «Меланколи бэби», Анастаса пела по-английски, а я, обняв ее за талию, голосил по-русски:

- Приходи ко мне, мой грустный бэби,
- Исчезай печали след.
- Выдумал беду мой милый бэби,
- А беды в помине нет.
- Есть у тучки светлая изнанка,
- Тарли-турли-бурли-бред,
- Слезы, не горюй,
- Осушит поцелуй,
- Ведь нам с тобой совсем немного леееееет!

Народ стал парочками разбредаться по многочисленным углам и закоулкам квартиры. То тут, то там вскипали свары. Были и сцены слегка отвратительного братания. Все измазались кто чем: прованским маслом, губной помадой, помидорными ошметками, липким ликером какао-шуа, соплевидными плевками, плевкоидными суселами, сусластым шлаком, а также общим щепетинством и куражистым зазоно-затором. В этой обстановке трудно было вообразить безупречную деву Гликерию, да ее там и не было, ни разу не промелькнула, разве только в его, то есть в моем половинно-четвертичном бреду..[2]

Юрка Дондерон помчался за Гликой, как только она выскочила из квартиры. Почему-то она не вызвала лифта. Он слышал стук ее каблуков, снижающийся с 12-го этажа их корпуса ВБ. Когда она закончила свой спуск, он уже ждал ее в нижнем холле. «Провожу тебя, если не возражаешь». Она молча кивнула. Они вышли во двор. По случаю праздников главный корпус, ее жилище, включил свою подсветку и теперь стоял над ними со всеми своими двенадцатью подсвеченными гранями, словно сказочный чертог.

2

Он кружит Глику над головой (та временами отделяется и совершает самостоятельные кружения), в конце концов он и сам отделяется (кружат вдвоем над крышами какого-то захолустья), и наконец рассаживаются вроде бы на облаке, но со стаканами красного вина

«Слушай, Глик, что с тобой сегодня происходит? – спросил он. – Ты сама не своя». С минуту она шла молча, потом остановилась и взяла его за лацкан стильного пиджака со «сваливающимися» плечами. «Знаешь, Юрк, со мной что-то непонятное случилось на Красной площади, – проговорила она. – Мне вдруг стало нестерпимо страшно за Сталина. Вдруг ни с того ни с сего мне показалось, что ему угрожает опасность». Юрка оторопел. «Ну и ну, вот это да! Послушай, Глик, что ему может угрожать? Знаешь, какая там вокруг охрана?» Она оттолкнула его и топнула ногой. «И все равно мне казалось, что в этой огромной ликующей толпе кто-то целится в него из винтовки». Быстро пошла прочь.

Он бросился за ней. «Гёрл, ну и разыгралось у тебя воображение, май гёрл!» Она снова остановилась и на этот раз прижала свою ладонь к его губам. «Замолчи! Прекрати эту свою противную американщину! Ты что, не понимаешь, к чему может привести вся эта ваша дурацкая американщина?! Ты меня приглашаешь в свой стиляжный вертеп, как будто не знаешь, что я член университетского комитета комсомола! А что, если мне начнут задавать вопросы о вас? Что мне тогда прикажешь делать?»

Пока она все это кричала ему отчаянным шепотом, он целовал прижатую к его рту ладонь. Наконец она резко отвернулась и снова устремилась прочь. «Не провожай меня!» Он поспешал за ней, растерянно бормоча: «Да что ты, Глика… Да мы же просто отмечаем Первомай… Мы же все-таки все патриоты… Ну просто джаз любим, музыку угнетенных… Ненавидим американскую военщину… Клеймим югославский ревизионизм… Ведь мы же все комсомольцы как-никак… Там, знаешь, дети таких родителей?..» Он попытался положить руку ей на плечо. Она вывернулась и, произнеся загадочную фразу: «Ты уверен, что все?» – бросилась бежать. Дондерон отстал.

Все в эту ночь казалось ей каким-то искажением своего первичного чистого замысла. Например, панно на потолке круглого вестибюля. Там были изображены юные пионеры и пионерки, с восторгом наблюдающие, облокотившись на балюстраду, дерзновенный запуск авиамодели.

Каждое утро она пробегала под этим панно, чаще всего его не замечая, но иногда с умилением бросая взгляд на свежайшие яблоковидные рожицы любознательного поколения. Вдруг ей показалось, что она стоит на дне колодца, что ей никогда с этого дна не подняться, а милые рожицы того и гляди превратятся в издевательские поросячьи чушки.

Только в лифте – благо он был пуст – ей удалось подавить поднимающееся к гортани рыдание. Мальчишки, комсомольцы, джазисты, полное извращение чистого замысла, и наконец Таковский с его бредовой «ежовщиной», и наконец эти ухмыльчивые иностранцы, несчастный Юрка погибнет среди похотливых сластен. На своем этаже она сняла туфли, на цыпочках пересекла холл, открыла своим ключом дверь смельчаковской квартиры и, не зажигая света, прошла в его кабинет. Впервые за время его отсутствия она воспользовалась привилегией войти сюда «как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет».

Сначала на ощупь, а потом привыкнув к ночному свету, она прошла в его кабинет и прыгнула на широченную тахту, где однажды едва не отдалась его опытным рукам, губам, усам, коленям; Кирилл, где ты? Ей казалось, что она чувствует его запах: смесь коньяка, французского лосьона, табака, а главное – запах его прерывающегося шепота: люблю, люблю, люблю…Как я могла все эти месяцы так над ним издеваться? Все эти бредни о «небесном жениховстве», к чему они? Ведь он настоящий мужчина, солдат, Дон Жуан, как он мог выдерживать мои прихоти, все это глупейшее высокомерие, неуклюжую позу «вечной девственности»? Тоже мне нашлась весталка! Кирилл, быстрее возвращайся! Я немедленно тебе отдамся! Вот именно на этой тахте, здесь, с открытыми шторами, под ночным светящимся небом, над созерцающим Кремлем! Если я разделась перед мальчишкой Дондероном, почему мне не раздеться перед Тезеем? Сразу стащу платье через голову и позволю ему разобраться с бельем так, как он хочет. Сама расстегну ему брюки, возьму его член и вся раскроюсь. Все мои мышцы станут мягкими, эластичными; они ведь все-таки предназначены не для сопротивления, а для ласки. Все мужчины повсюду смотрят на меня как на женщину-ласку, вот такой я и стану с ним! И даже боль первого совокупления не помешает, потому что за ней последует колоссальный прилив любви. Кирилл, люби меня, ллл-юби, ллл-юби, ллл-юби, юби, юби, юби, би меня, би меня, би меня, бббллюю!

В это время через несколько монументальных чечулинских межквартирных стен начала развиваться другая сцена все усложняющихся межчеловеческих отношений. Ариадна Лукиановна вошла в свою квартиру, зажгла свет в обширной передней, медленно, словно Любовь Орлова в фильме «Весна», сняла и уронила на козетку изящное пальто-труакар, двумя руками освободила слегка растрепанную прическу от маленькой шляпки, продвинулась далее, включила еще один свет и, войдя в полутемную гостиную, совершила несколько кругообразных движений; голова мечтательно откинута вверх, плечи чуть назад, бедра чуть вперед, вальс, вальс в чьих-то надежных и влекущих в глубины венского леса объятиях. Такты вальса еще звучали в ее голове, вкус великолепного экстрасладкого массандровского шампанского еще тревожил душу, и вся обстановка сегодняшнего приема «на высоком уровне» еще живо отзывалась в ублаготворенном организме высотной жительницы.

Послышались быстрые мужские шаги, вспыхнул верхний свет, в гостиную, застегивая китель, вошел сотрудник СБ Фаддей. «Не угодно ли чаю, Ариадна Лукьяновна?»

Она присела на диван. «Чаю, да-да, чаю. И парочку тех, слоеных. Что, Глика у себя?»

«Нет, Глики еще нет. Там вроде бы большой пир у этих, Дондеронов. Родители еще не вернувшись, вот и загуляла золотая молодежь».

Он полетел на кухню и тут же вернулся с подносом: горячий чайник и вазочка тех, слоеных, еще вчера называвшихся «наполеонами». Ариадна с интересом следила за его движениями. Не раз они с мужем удивлялись сноровке этой супружеской пары спецбуфетчиков. Вот уже больше года назад, еще в академическом особняке на Соколе, появилась в семье Новотканных эта услужающая чета и ни разу не вызвала нареканий. Ну Нюра – та все-таки понятней: круглолицая, румяная, с вечной улыбкой на пухлых губках, как-никак подходит под стандарт идеальной домработницы, но вот Фаддей, тот может даже озадачить: грубоватая, хмуроватая солдафонская ряшка мало гармонирует с любезнейшим лакейским тоном и гибкими, словно из «Метрополя», движениями.

«Присаживайтесь, Фаддей, давайте почаевничаем».

Он быстро слетал за дополнительной чашкой и присел на край стула, всей позой показывая, что готов к выполнению последующих пожеланий.

«А что Ксаверий Ксаверьевич, не звонил?» – спросила она.

«Звонил сразу же, как вы отбыли на прием. Он задерживается на объекте и вернется, очевидно, ко Дню Победы».

«А что, больше никто не звонил?» – Она внимательно присматривалась к его лицу. Что-то промелькнуло в буграх лба, заставившее и все лицо как бы шевельнуться этому промелькнувшему вслед.

«Да как не звонить, Ариадна Лукьяновна, ведь праздник! Было шесть звонков с поздравлениями. Я всех записал и оставил у вас на ночном столике».

«На ночном столике?» – переспросила она.

«Да, как вы сказали».

«Я так сказала? На ночном столике?»

«Вы так Нюре сказали, Ариадна… (Сука такая, молниеносно подумал он.)… Лукьяновна».

«Ну, конечно, – подтвердила она. – Я так и сказала. Нюре. На ночной столик». Она отвлеклась от этой малосодержательной беседы, взяла со стола номер «Вечерки» со снимком Мавзолея на первой полосе (кто их так снимает, в упор?), спросила вроде бы между прочим: «А Кирилл Илларионович не звонил?»

В ответ на этот мимоходный вопрос прозвучало молчание. Теперь уже грубая ряшка без всякой любезности вглядывалась в ее лицо.

«В чем дело, Фаддей?» – сурово спросила она.

«Был один звонок из Парижа», – наконец проговорил он.

«Ну так что же вы молчите?! – воскликнула она, не в силах скрыть радости. – Что он сказал?»

«Он ничего не говорил. Его не было. Была только сотрудница, телефонистка. Это квартира Новотканных, спрашивает и поясняет: вас Париж спрашивает. А на это я отвечаю согласно инструкции: вы ошиблись номером, здесь таких нет. Надеюсь, вам все ясно, Ариадна Лукьяновна?»

«Послушайте, Фаддей, вы же знаете, что Смельчаков – это очень ответственный товарищ. Уж он-то знает, можно ли звонить из Парижа, как вы считаете?!»

Спецбуфетчик встал и отошел к дверям. Оттуда ответствовал твердо: «В эту квартиру нельзя звонить из Парижа, Ариадна Лукьяновна».

Она в сердцах притопнула ногой: «Лукиановна! Я вам не раз уже говорила. С вашими Лукьянами ничего общего не имею. Я – дочь Лукиана!»

Что-то похожее на ненависть потащило его щеку вбок, даже клык обнажился. «Я думал все-ш-таки вы понимаете, а вы без понятия, что мы у вас тут не только по буфетному делу. Согласно инструкции, в квартиру академика Новотканного нельзя звонить из-за границы. Он принадлежит одной из самых секретных систем Советского Союза. Сотрудница-телефонистка проявила преступную халатность, она будет наказана. Я связался с соответствующими товарищами, мои действия были одобрены».

Он собрался было выйти из гостиной, но она с дивана похлопала ему в ладоши. «Поздравляю!» Он вроде бы споткнулся об эти аплодисменты. «С чем?» Она очаровательно улыбнулась. «Ну, во-первых, с Первомаем, а во-вторых, с одобрением. Скажите, Фаддей, вы в каком пребываете чине?»

«Я капитан, Ариадна Луки-ановна».

«А Нюра?»

«Она майор».

«А где же она, этот славный товарищ майор? Даже не выглянула с поздравлениями».

«Да вы же сами ее отпустили третьего дня в Арзамас, к теще то есть, ну, в общем, к мамаше».

«Ах да! – Ариадна скакнула с дивана, словно великолепная львица. – А вы знаете, товарищ капитан, в каком я пребываю чине?» Он молчал, охваченный одной удивительной мыслью: «Наверное, во всем человечестве нет второго генерала с таким телом». Она приблизилась к нему и взяла его сразу за две пуговицы кителя. – Ну что же, товарищ капитан, хотите, чтобы генерал заменил вам на эту ночь майора?»

Проснувшись после любовного словоизвержения на смельчаковской тахте, Глика снова ощутила себя в кромешном мраке. То, что прежде отсвечивало под мерцающим московским небом, все эти предметы писательского холостяцкого быта – чернильный прибор, машинка «Смит-Корона», фотографии на стене, бутылки за баром, бюст Вольтера, каминные щипцы, эспандеры и гантели, боксерские перчатки, автомат «Шмайзер», ножи, покрывающие распил благородного древа, – все это слилось в бесформенную темноту. И только то, что чернее любой темноты, огромный монстр с бычьей главой и человечьими членами отчетливо выделялся в глубине жилья. И контактировал с ней. И контактировал с ней остро. Возможно ли, что он видит во мне одну из тех семерых молодых афинянок? Именно так, с остротой, контактировал бык, именно так. Вдруг отчетливо вспомнилась кирилловская строфа:

- В этом мраке есть житель, он черноту коптит.
- Ты не увидишь, как он опускает рога.
- Ты только услышишь грохот его копыт
- И, не успев помолиться, превратишься в рагу.

Именно так, с остротой, контактировал бык, именно так. Именно так будет с тобой, и с Кириллом твоим, и с вашим будущим другом, которого звать Георг. И стоял неподвижно. Контактировал остро, до глубины. Боясь, что он начнет двигаться, она не кричала, собирая свое белье. Потом пронеслась сквозь могучие стены – домой! Но монстр почему-то остался стоять. Неужто стены ему преграда? Мама, где моя нежная мама? Тут, наконец, она пришла в себя. Дверь в мамину спальню была закрыта изнутри. Она прошла к себе и выпила до дна бутылку кефира, заботливо, как всегда, приготовленную сотрудниками СБ.

Poet de la Paix

В Париже в это время было всего лишь начало двенадцатого. Кирилл, наконец-то в одиночестве, шел по Бульвару Мадлен в сторону Пляс Опера. Смотрел на ветви каштанов, только что украсившиеся миниатюрными новогодними елочками своих цветов. Когда-то и в России, как во всем мире, новогодние елочки назывались «рождественскими». Он вспомнил 1937 год, когда ему было двадцать два. Тогда, впервые после нэпа, разрешили к Новому году наряжать елки. Без всякого упоминания о Рождестве, конечно. Языческий праздник Деда Мороза и Снегурочки. Как по заказу, вернее, вот именно по заказу, появилось множество детских стишков и песенок.

- В лесу родилась елочка,
- В лесу она росла,
- Зимой и летом стройная,
- Зеленая была.

За десять лет до этого, в 1927 году, когда ему было двенадцать, еще наряжали «рождественские» елочки, хотя в кругах партактива предпочитали их таковыми не называть. Из Лондона тогда приехал отец. Втроем, мама, папа и Кирюша, они отправились на Воробьевы горы, где сияли снега. Как будто случайно, так, по пути, зашли в церковь Живоначальной Троицы. С легкими, вроде бы попустительскими улыбками поставили свечки под иконой Спасителя. Мальчик прикрыл глаза и в уме прошептал то, что запомнил от няни: «Боже правый, Боже крепкий, Боже бессмертный, помилуй нас!» Выйдя из церкви, мама крепко поцеловала сына и мужа. Папа смущенно произнес: «Есть все-таки своя эстетика в этих христианских мифах».

Как странно, что именно Рождество вспоминается в ночь Первого Мая в Париже, думал глава делегации советских писателей Кирилл Смельчаков. Ах да, это каштаны виноваты, их елочкоподобные цветы. Ранняя пышная весна стоит по всей Франции, медовый запах цветения, смешанный с бензином, рождает ностальгические чувства даже у ответственных товарищей по ведомству борьбы за мир.

Третьего дня завершился Всемирный конгресс мира, который по размаху ветераны сравнивали со знаменитым форумом 1934 года «С кем вы, мастера культуры?». Выступления советских писателей изобиловали отменными, то есть неувядающими, цитатами из классиков. Смельчаков, например, вспомнил Платона. Философ был прав, выстраивая свою метафору «пещеры», ничтоже сумняшеся заявил он. Человечество от рождения было узником пещеры, закованным в наручники

невежества. Оно могло видеть только тени предметов, мелькающие на сводах. Тени возникали и двигались только за колебанием костра. Реальный мир находится вне пределов пещеры. Он содержит сложный рисунок, рождающий свои копии в виде предметов. Он исполнен добра, чьим аналогом является солнечный свет. Человек должен освободиться от оков и подняться из пещеры на поверхность. Средства свободы лежат во власти человеческого понимания. Человек поднимется вверх к познанию, развивая свой смысл и чувство истины.

Философская метафора, созданная в четвертом веке до нашей эры, злободневна и сейчас. Человечество, или большая его часть, до сих пор пребывает в пещере угнетения, насилия и угроз. Реальный мир, к которому оно должно подняться, – это мир идей и деяний социализма, а аналогом солнечного света является коммунистическая идеология, творения классиков марксизма и великого Сталина. Именно у нас, в СССР, выстраивается сейчас государство и общество будущего. Не думаю, что мы все доживем до этого будущего, однако конечный результат в своем совершенстве убедил бы и Платона.

С трибуны он видел, что «высоколобые», эти прогрессивные профессора и литераторы, друзья СССР, а также интеллектуалы левой формации очень внимательно вслушиваются в перевод, обмениваются взглядами и даже перешептываются. Отлично зная образ мысли этих людей, он живо представлял себе, о чем пойдет речь в кулуарах. Смотрите, господа, в Советском Союзе происходят какие-то кардинальные изменения. Они присылают на форумы своих мыслящих людей, которые говорят о Платоне и не чураются неокантианской картины мира.

Что касается журналистов ведущих газет, те, разумеется, саркастически улыбались. Уловив идеологические позывные, они уже планировали свои заголовки: «Смельчаков ставит Сталина над Платоном, поближе к Солнцу». Сарказм не был чужд и хорошо знакомым личностям, вчерашним соратникам по Коминтерну, титоистам из Загреба и Белграда. Зря, мол, стараетесь, содруг Смельчаков, уж мы-то знаем, чем все это пахнет. Ну а если не терять из виду работников советского посольства, то о них можно сказать, что с их лиц ни на минуту не исчезало сугубо пещерное выражение.

Кирилл был доволен своими братьями-писателями, то есть его как бы подчиненными. В общем-то, ни один из этих матерых миролюбцев не нуждался ни в каком руководстве, и он им ничего не навязывал. Симонов с трибуны рубал чеканку Маяковского. Сурков с постоянной задушевностью вспоминал Пушкина. Твардовский с мнимым простонародием влачил никому неведомого Некрасова. Эренбург, подчеркивая связь с богемой двадцатых и тридцатых, по-французски цитировал Малларме и Бодлера. Все запасы спиртного, привезенные в чемоданах, были выпиты во время полуночных посиделок в отеле «Крийон», однако никто из писателей не впал – или не успел впасть – в запой, то есть не опозорил советскую литературу на многочисленных приемах. Женским полом Парижа эти великолепные мужчины как-то не интересовались, потому что так уж повелось, что женский пол остается в Москве, а в странах НАТО вместо женского пола советскому человеку подсовывают приманку для шантажа. Вот уж кому доставалось, то вот этим несуразным организациям, НАТО, Пентагону, ЦРУ; этих драли без пощады. Словом, неплохо было развито хорошо известное в разведке «чувство локтя», возникла чем-то напоминающая фронт спайка, тем более что со всеми этими ребятами, особенно с Костей, Кирилл был накоротке после встреч в ставках Рокоссовского, Конева, Толбухина.

И все-таки в этот поздний вечер Первого Мая Кирилл был рад, что остался один. Вся делегация уже паковала багаж. Наутро разлетались в разные края: Эренбург как член верховного органа ВСМ,[3] разумеется, в Стокгольм, мон амур, Твардовский в любимую Москву-разливанную, Сурков в Грецию к Микису Теодоракису, работать над циклом, Костю тянула к себе корейская 38-я параллель. Кирилл собирался вместе с Твардовским вылететь в Москву – звала просыпающаяся тревога, какая-то странная боязнь за «небесную невесту», вообще за все семейство Новотканных, каким-то труднообъяснимым, едва ли не мистическим, образом переплетенная «Нитью Ариадны», то есть не однокурсницей, а неоконченной поэмой, – как вдруг его вызвали в посольство и там, «под колпаком», то есть в самом секретном помещении, сказали, что он должен прямо из Парижа через Северный полюс лететь в Японию, где возникает мощное народное движение против американской военной базы Иокосука. Он хотел было тут же откреститься от этого предложения, сославшись на то, что его в Москве ждут, однако человек, говоривший с ним,

сделал несколько тайных знаков при помощи четырех пальцев, бровей и крыльев носа, и он понял, что должен лететь.

После этого произошла передача шифра, кодовых имен, а также огромной суммы денег, которую он мог в этой стране то ли восходящего, то ли заходящего, а скорее всего висящего, как атомная бомба, солнца тратить без всякой отчетности. После этого вышли из-под «колпака».

3

ВСМ – Всемирный Совет Мира.

Секретчик хлопнул поэта по плечу. «Завидую тебе. Надоело это осиное гнездо. (Он имел в виду Париж.) Был бы поэтом, ха-ха-ха, поехал бы вместо тебя к гейшам». После обмена знаками распальцовки они легко перешли на Кир и Ник. В одном из залов посольства шел какой-то прием. Черт знает кого там принимали. Стали там прогуливаться по водкатини. Кирилл попросил какую-то секретаршу соединить его с Москвой. Дал ей телефон Новотканных. Через недолгое время девушка прибежала, трясясь от страха. «Товарищ Смельчаков, такого номера не существует!» Ник тут же вышел с ней, а вернувшись, сказал: «Кир, ты что, опупел? По таким номерам нельзя звонить из загранки. Ладно, постараюсь все это утрясти с этими гадами. (Он имел в виду конкурирующую организацию.) Только запомни, ты никаких звонков из посольства не заказывал».

Вспоминая теперь все эти обстоятельства и все больше наполняясь тревогой за Глику, Ариадну и Ксаверия, он приблизился к Площади Оперы и остановился у входа в Кафе дё ля Пэ. Мимо прошла приплясывающая компания молодежи, кто в дурацких колпаках, кто в венецианских масках. Пели что-то из репертуара Жюльет Греко. В Москве таких даже и вообразить невозможно. Вдруг все тревоги выветрились из головы. Пронзила радость парижского одиночества. Проведу здесь два-три дня – и две-три ночи! – один, без всяких обязанностей, без присмотра, вне всякой борьбы, пусть мир отдохнет, не как агент, а просто как поэт Божьей милостью.

- Мой друг стоял однажды на бульваре,
- У входа в заведенье дё ля Пэ,
- Как вышедший в отставку граф Суворов,
- Творец стихов в манере «воляпюк».

Пойду сейчас и засяду на веранде, чтобы всех видеть, проходящих мимо, шутов и блядей. В полном одиночестве. Так и скажу половому: жё сюи жюстеман соль. Выпью как следует, а заказывать буду в следующем порядке: двойной мартини, двойной скоч, абсент; все повторить!

Все-таки ноги сами знали, куда вести. Это огромное буржуазное кафе он заприметил еще тогда, когда юнцом возвращался из разгромленной Испании. Обожженный разгромом, он тут охлаждался напитками, комфортом, удивительной вежливостью персонала. С тех пор всякий раз, когда бывал в Париже, старался не упустить случая, чтобы посидеть тут хоть полчаса, а если все-таки упускал, то и уезжал с ощущением чего-то упущенного, как будто в Лувр не зашел. Здесь, справа от входа, его всегда умиляла висящая на стене доска, обтянутая зеленым сукном. Под стальные прижимы на этом сукне подсовывали почту для посетителей, то какую-нибудь фривольную записочку, а то и солидный конверт с марками и печатями. Удивительным было полнейшее доверие. Никто никогда не спрашивал никаких документов. Ищи то, что тебя здесь ждет, а найдешь, забирай. Сейчас, правда, кажется, стало строже. Вон портье весьма внимательно приглядывается. Выходит из-за своей стойки, приближается, расшаркивается.

«Простите, мсье, вы, кажется, давно у нас не бывали?»

«Да уж, пожалуй, около года. Года полтора, если я еще в своем уме».

«Ищете что-нибудь на свое имя, мсье?»

«Мир меняется, вы не находите? В прежние времена у вас имени не спрашивали».

«Дело в том, что я держу у себя невостребованные мессажи, мсье. Если угодно, я могу проверить».

«Сделайте одолжение, любезнейший, – попросил Кирилл и добавил неожиданно для самого себя: – Мое имя Штурман Эштерхази». Портье поклонился, удалился к своей стойке и через пару минут возвратился с продолговатым розовым конвертом. «Извольте, мсье. Это письмо лежит у меня не менее месяца. Должно быть, вы задержались в пути, мсье».

«Именно так и произошло, – подтвердил Кирилл. – Непредвиденная задержка. Чертовски вам благодарен».

Он положил престраннейшее письмо несуществующей фигуре в карман своего вполне реального пиджака и отблагодарил благородного старца сотней франков; действительно, чертовская благодарность. Чертовская благодарность за какие-то чертовские шуточки. Затем проследовал на веранду. Да как и кем мог быть подстроен такой розыгрыш? Разложите все по полкам и увидите, что никак и никем.

Он занял столик в углу, чтобы можно было видеть публику и на бульваре, и в кафе. Заказал официанту все три разновидности напитков, а также бумаги и чернил. Вторая половина заказа нисколько не удивила молодца, поскольку вот именно за этим столом, где вы сейчас сидите, мсье, академик Золя писал своих «Ругон-Маккаров». Что касается первой половины заказа, то на лице официанта, несмотря на великолепные пушистые усы, отразилось некоторое недоверие: дескать, сомневаюсь, мсье, что после таких возлияний вам удастся написать что-нибудь стоящее, глубоко реалистическое.

- Где ты, послушница Гликерия?
- Иль непослушница уже?
- Тиха ль твоя светлица-келья
- На недоступном этаже?
- Ночные звуки Первомая
- Тревожат девы робкий сон.
- Что мучит, сон превозмогая:
- Лягушка, чайка или сом?
- Поёшь ли ты девичьим голосом
- На русских пажитях ржаных,
- Как мчит в Японию над полюсом
- Твой вечный пьяница-жених?
- Что вытесняет эти образы?
- Твой светлый Александр Блок?
- Страны твоей немые борозды?
- Иль в темноте стоящий бык?

Так он писал, разбрызгивая кляксы по великолепной плотной бумаге, что предоставляет своим пишущим посетителям Кафе дё ля Пэ. Писал, не особенно тщательно цепляя рифмы, сбиваясь с ритма, не тревожась о ясности. Вот так и надо хоть иногда писать, думал он. Поддать как следует и валять, не думая ни о печати, ни о читателях, такой, туды его в качель, лирический дневник, из которого потом буду черпать. Вот именно оттуда буду черпать, как сейчас вливаю по второму разу: двойной мартини, двойной скоч и абсент. Он немного запутался, куда вливать, откуда черпать, но его это сейчас не особенно качало: главное – выговориться, пока не мешают.

Метрах в десяти от него за большим столом сидело несколько мужчин интересной наружности. Даже Кирилл, захваченный своим лирическим дневником, на них посмотрел: что за ребята там сидят, как будто все одного рода? Крупные, прямые, одинаково мрачноватые, носатые, с преувеличенными подбородками, не похожие на французов, все в одинаково плечистых пиджаках, они молча чокались стаканами с чем-то прозрачным, явно очень крепким. Пьют, как наши, подумал он, однако морды не наши. У наших так не бывает, чтобы собралось сразу шесть человек с такими отчетливыми мордами. Для наших морд характерна расплывчатость. На всякий случай все-таки пересел спиной к компании и тут увидел, что на веранду с ночного бульвара поднимается весьма элегантный молодой человек. Неизвестно, по какой причине он не мог оторвать взгляда от этого явного парижанина. Да, вот этот-то явный парижанин, хоть и дылда. Однако явные-то парижане не такие дылды. Значит, это явный не-явный парижанин в таком вот длинном плаще из магазина «Old England». Кого-то мне напоминает этот денди. Ну кого он может мне напоминать, если не явного-не-явного-так-его-так парижского денди, зашедшего в поздний час на веранду кафе? Молодой человек обеими ладонями пригладил зачесанные назад волосы и прошел было мимо, но споткнулся о взгляд Кирилла и застыл перед его столиком в крайнем изумлении.

«Не верю своим глазам, – проговорил он хоть и с трудом, но на чистом русском. – Кирилл Смельчаков, это вы?»

Ну все, решил опознанный поэт, это какой-то типус из МИДа. Или из энкавэдэ. (Так презрительно старой аббревиатурой называли конкурирующую организацию в их «школе».) На наших, грушников, во всяком случае, не похож. Так или иначе сей мир совсем уже не годится для лирики.

«Ну хватит отбрасывать такую длинную тень, – сказал он. – Присаживайтесь».

Молодой человек присел. Тут же подошел специалист с усами, выслушал заказ, «гран-пресьон, силь ву плэ», и почти немедленно принес большой бокал пива.

«Вы что, из МИДа? – спросил Кирилл. Блаженное поэтическое пьянство уже отступало. – Или из каких-нибудь других почтенных организаций?»

Денди все еще, очевидно, не верил своим глазам, хотя и смотрел на Смельчакова вылупленным взглядом. Ушам своим он, по всей вероятности, тоже не очень-то доверял. «Из МИДа?.. Из организаций?.. Что вы?.. Что вы?.. Я просто здешний…» – бормотал он.

Настала очередь Кирилла удивляться: «Откуда вы меня знаете?»

Молодой человек отпил большой глоток пива, закурил «Кэмел» и немного успокоился. «Я видел вас восемь лет назад. Вы выступали у нас в Литературном институте».

Вся пьянь мигом выветрилась из головы Кирилла. Ему показалось, что он вспомнил этого парня. Тот был тогда огромным юнцом в задрипанной кацавейке, из коротких рукавов которой свисали одутловатые руки. Если не ошибается, он был сыном одной катастрофической литературной семьи. Так, во всяком случае, полушепотом пояснил присутствовавший на встрече Николай Асеев. Внешность его поражала среди нескольких десятков студентов, большинство из которых были комиссованы по ранениям из действующей армии. Иной раз надутая надменность лица напоминала какого-нибудь средних лет римского сенатора. В другой раз, особенно когда официальная часть кончилась и все сгрудились вокруг фронтовика-поэта, он показался едва ли не ребенком, эдаким детенышем-Гаргантюа. Не он ли тогда задал вопрос о киплингианстве и гумилевщине, который показался совершенно невероятным в детских устах?

Не нужно показывать этому денди, что я его помню, что знаю что-то о его семье, а то еще вляпаюсь накануне перелета в Японию в какую-нибудь нелепейшую историю. Не буду задавать ему никаких вопросов, решил он и тут же задал вопрос:

«Вам сейчас, должно быть, лет двадцать шесть?»

«Двадцать семь», – был ответ.

Засим последовал еще один ничего не значащий вопрос: «А как вас зовут?»

Молодой человек ответил не сразу. Сначала посмотрел исподлобья. Потом чуть отвлекся в сторону. Почти протрезвевший Кирилл отметил, что никаких следов той, 1944 года, одутловатости в его облике не отмечается. Напротив, лицо было отмечено некоторой утонченностью черт, что при выпуклом лбе создавало вполне приятный портрет, завершенный слегка подрагивающими длинными пальцами пианиста.

«Меня зовут Серж».

Того, кажется, звали иначе, и все-таки, по всей вероятности, это был тот самый, из «катастрофической семьи». Может быть, прикрывается чужим именем, чтобы не ставить советского писателя в неловкое положение?

«Ну что ж, Сережа, давай выпьем за Литературный институт. – Кирилл подозвал усатого: – Силь ву плэ, маэстро, мэм шоз пур дё персон!» Тост был принят. Хмель очень быстро развеял неловкость.

«Скажи, Сережа, как же ты из нашего Литературного института угодил в Париж? Впрочем, если не хочешь, можешь и не говорить».

«Отчего же, Кирилл, могу и рассказать. Знаешь, я попал в Литинститут, как тогда говорили, „по блату“. И сейчас так говорят? Здорово! В общем, один большой классик, он знал мою, ну, семью… ну и в память о них… в общем, это долгая история… короче, он дал мне рекомендацию. Вот из-за этого добряка я и угодил в самое пекло. Он не знал, что в Литинституте нет брони, так что меня вызвали в военкомат и забрили, рьен а фэр. Месяц муштровали, а потом, алез-и, в маршевую роту – и на фронт. В первом же бою, то ли в восточной Польше, то ли в Западной Литве, черт его знает где лежит проклятое место, меня как саданули, почему-то сзади, там был полный бардак, все

неслись не поймешь куда, и вдруг кто-то сзади на мне точку поставил, так припечатал, будто весь бардак упорядочил».

«Хорошо рассказываешь, Серега, – ободрил Кирилл. – Я это по себе знаю; рраз – и точка, и порядочек».

Серж тут чуть отвернулся от него и немного повыл в сторону Больших Бульваров. Потом продолжил:

«Все возобновилось ночью, когда очнулся. Там под страшенной луной по всему полю ходили фрицы и ставили точки на раненых. И орали друг другу через поле. Двое увидели, что я дергаюсь, и подошли ко мне. Дальше случилось миракль, ну, чудесо. Знаешь, я все детство провел во Франции и, видно, в бреду что-то орал по-французски. Вот только поэтому фрицы на мне точки не поставили, а, наоборот, взяли за ноги и потащили за собой в свою сторону. Может, надеялись, что им отпуск дадут домой за взятие французского большевика. Пока тащили через минные воронки, я, пожалуй, не меньше трех раз умер, а очнулся уже под брезентовым тентом, в каком-то жутком госпитале. Там санитарки-украинки меня выходили, хорошие девки, между прочим. Потом меня допрашивали военные чины, узнали, что у меня четыре языка в активе: рюс, франсе, дойч и инглиш. Выдали мне фрицевский мундир и отправили с командой каких-то ублюдков через райх во Францию. Сказали, будешь переводчиком. Пока ехали то на поездах, то в грузовиках, я видел, что вокруг царит паника. Оказалось, что союзники уже высадились. Короче говоря, в Нормандии я сразу в плен угодил к американским парашютистам. Между прочим, у них тоже была какая-то фильтрация пленных, но, конечно, не такая, как у немцев, или… ну скажем, у кого-нибудь еще. Много курили, все время дымишь, дымишь, проснулся – и „Кэмел“ в пасть, черт знает что! Видишь, я и сейчас без американского курева не могу. В каком-то штабе я у них подвизался, а когда Париж освободили, они мне говорят: так, парижанин, теперь ты можешь идти, good riddance, то есть в жопу, по месту жительства. Вот так у них разведка работала, можешь себе представить, Кирилл?»

«Очень хорошо себе представляю, Сережа», – покивал Кирилл. Тут ему захотелось спросить, как на самом деле его нового друга зовут, но он не спросил.

«Вот так моя одиссея закончилась. – Тот снова подвыл, но прервался с виноватым выражением. – Прости, башка чуть-чуть буксовать начинает от воспоминаний. Париж – Москва – Бугульма, опять Москва – Ташкент, еще раз Москва – Польша или черт знает что, Райх – Нормандия – Париж. Мне было девятнадцать лет, когда я вернулся. С тех пор живу здесь. Работаю в банке. Пишу роман».

«По-французски или по-русски?» – спросил Кирилл. Насколько он помнил, родители этого странного молодого человека писали по-русски.

Серж не успел ответить. Сидящая рядом компания запела что-то диковатое, сумрачное, героическое. Двое, тенор и баритон, вели некий дуэт, остальные четверо вторили, кто-то подстукивал ритм ладонями по столу. Невозможно было понять, на каком языке исполняется песня, хотя иной раз проскальзывали знакомые славянские слова. Из основного роскошного зала на простоватую веранду уже спешил метрдотель, чтобы довести до сведения уважаемых господ, что в Кафе дё ля Пэ не принято петь, тем более хором в шесть человек. Получив такой афронт, шестерка встала, отдала деньги и один за другим, словно караул, пошла к выходу. Проходя мимо, один из них положил руку на плечо Сержа.

«Я их знаю, – пояснил тот. – Это хорваты, беженцы от Тито, сталинисты».

«Что же они в Париже сидят, если сталинисты? – усмехнулся Кирилл. – Лучше бы в Москву перебирались. У нас там все сталинисты».

«Ты тоже, Кирилл?» – с некоторой осторожностью спросил Серж.

«Ну конечно! – воскликнул Кирилл. – Как ты думаешь, мог бы я приехать сюда на Конгресс мира, если бы не был сталинистом? Ты, видно, забыл за эти годы, что у нас весь народ сталинисты? За исключением, может быть, только горсточки заключенных».

Фу ты черт! Серж неожиданно весь вспотел. Я действительно многое забыл. Кирилл протянул ему салфетку. Вытри лоб. Потом спросил прямо в этот потный лоб: не тянет ли его назад, в Союз, ну, в общем, в Россию? Вытирая лоб, а также засовывая салфетку за воротник, чтобы и там приостановить истечение влаги, Серж сказал, что этого он и сам не знает. Временами мучительно почему-то тянет, но, как бы ни тянуло, он туда никогда не вернется. Он был там вдребезги

несчастен, если кто-нибудь понимает, что такое вдре-без-ги. Потерял всех своих, всех без иск-лю-че-ния. Ведь ты же знаешь, Кирилл, чей я сын, сознайся! Ты знаешь, как меня зовут, ну! Кирилл сказал, что это безобразие: два молодых мужика из России тянут свой скоч глоточками, словно янки. Давай-ка сразу, жопы кверху! Я знаю, что тебя зовут Серж, Серега! Больше я знать ничего не хочу! Они оба тут же жахнули виски buttoms up, то есть так, как и было сказано. Усатый специалист тут же принес новые порции абсента. Что тебя все-таки тянет туда, куда ты не хочешь; дай мне понять! Серж хохотнул и опять же с некоторым намеком на волчий язык. Если уж так без анализа подойти, то тянет больше всего язык, стихи, словесная русская брага; самогонка, если хочешь. Они стали все теснее сближать лбы, один ладонями приглаживал волосы, другой взвихрял чуб. Признаюсь, я многое у тебя любил, Кирилл, даже знал наизусть.

- …Но ты откроешь надо мной
- Надежды купол!

Прочти мне что-нибудь из нового! Кирилл вытащил из-под локтя только что исписанный лист. Нет, не годится, он ничего не поймет. Только она это поймет, больше никто. Вдруг, как недавно в МГУ, проскользнул какой-то импульс, и он стал читать «Нить Ариадны». Серж слушал, опустив лицо и сжав на столе свои длинные сильные пальцы. Вдруг в одном месте, а именно там, где:

- Темные мраморы, мерная поступь.
- Стража сзади смыкает штыки.
- Сколько храбрость свою не пестуй,
- Жила дергается на щеке,

он поднял свое лицо, озаренное пьяной юностью. Когда чтение кончилось, он только прошептал: «И ты называешь себя сталинистом?» Был уже час ночи, в Москве – три. Ну все, прости, нам, сталинистам, пора спать. Утром лечу. Туда? Ну да, соврал Кирилл. Серж написал что-то на бумажной салфетке. Вот здесь адрес моей двоюродной тетки. Он назвал фамилию, довольно известную в литературных кругах. Можешь передать ей деньги? Какие еще деньги? Ну франки, конечно. Он зашуршал в карманах. Да ты офигел, Серега? Забыл, что они у нас не ходят? Ладно, давай адрес, я ей твердокаменных рублей подкину. Теперь скажи мне на прощанье, Серж Моржовый, ты не агент? Ну раз нет, тогда давай обнимемся на прощанье. Передам от тебя привет моей Глике, ты ведь ее знаешь. Фу, прости, у меня тоже башка что-то забуксовала.

С этими словами Кирилл Илларионович Смельчаков, чьи титулы после такого вечера мы не в состоянии перечислить, покинул свое излюбленное Кафе де ля Пэ. Сквозь стеклянную дверь Серж смотрел, как он удаляется в сторону Гран-Опера, прямой, статный и только на пятом или на шестом шагу слегка отклоняющийся вбок.

«Интересный собеседник у вас сегодня был, не так ли, Серж?» – спросил метрдотель своего постоянного клиента.

«А вы его разве знаете, мсье Ламбер?» – сдерживаясь, чтобы совсем уж не забуксовать, поинтересовался Серж.

«Ну, конечно, – важно покивал метр. – Его зовут Штурман Эштерхази».

Сержу ничего не оставалось, как только воскликнуть «Пар экзампль!», после чего он быстро вышел из кафе и стал быстро-быстро исчезать в качающейся тени каштанов с их маленькими рождественскими елочками.

Тень четырехмоторного «Констеллейшна» проходила над сверкающими льдами Северного полюса. В салоне первого класса сервировали дежене с шампанским. «Клико» превосходно умиротворяло разладившуюся было вегетативку. Чтобы завершить отличный прием пищи, пассажир полез в карман пиджака за портсигаром и тут рядом с искомым обнаружил письмо, адресованное мифу. Удалив со столового ножика остатки паштета и масла, он вскрыл конверт, вытащил лист плотной бумаги, прочел текст, смял бумагу и сунул комок в сетку рядом с уже прочитанным «Нью-Йорк Геральд Трибюн».

Передаем на всякий случай дурацкое содержание послания:

«Два друга, Летчик Крастрофович и Штурман Эштерхази, летели в своем знаменитом самолете „Орел СССР“ над дельтой Нила. По пути им попался еще один воздушный путешественник, не кто иная, как Ева Браун. На своем самолете „Вихрь Райха“ она возвращалась в Берлин из Каира от друга фюрера короля Фарука. По дороге она послала радиограмму: „Дорогой Ади, Фарук – душка! Удовлетворение окончательное!“

Надо признаться, что девушка немного кривила душой: удовлетворение было не окончательное. Вот почему она заинтересовалась двумя летящими рядом великолепными мужчинами неопределенной национальности.

«Как ты думаешь, кто это рядом летит, Нефертити или Клеопатра?» – спросил Эштерхази у Крастрофовича.

«Судя по трусикам под юбкой, это недотраханная Дева Райха», – предположил прагматик.

Не прошло и пяти минут, как оба аэроплана приземлились на дюне в дельте Нила.

«Мальчики, если вы привнесете в мою жизнь окончательное удовлетворение, я раскрою вам главную тайну Второй мировой войны!» – воскликнула Ева.

Оба авиатора бодро взялись за дело. Дева визжала несколько часов, и, только когда наступила ночь, она победно протрубила: «Тот, кого боится весь мир, ни на что не способен!»

Если учесть, что этот короткий рассказ сопровождался рисунками Кукрыниксов, можно понять, почему на всех фронтах началось сокрушительное наступление».

Толкуем Платона

Вот на этом наступлении, собственно говоря, мы можем завершить наше затянувшееся отступление от прямого действия. Теперь возвращаемся в блаженный московский июнь, в искрящуюся звездами Кремля и небосвода раннюю ночь, на террасу 18-го этажа Яузского небоскреба, где засиделись за десертом основные герои наших сцен плюс только что прибывший на жительство контр-адмирал Жорж Моккинакки.

Не посвященный в предшествующее действие, он внимательно следил за пересекающимися взглядами супругов Новотканных, их дочери Гликерии, их соседа по этажу Кирилла Смельчакова, а также работников Спецбуфета Фаддея и Нюры. Не все понимал, но многое улавливал. Улавливал, в частности, что между сказочно прекрасной девой и героическим эталоном Кириллом существуют какие-то особые отношения, однако не до конца понимал, отчего эти отношения находятся под вопросом; в том смысле, что велик ли вопрос.

Не знал он, конечно, что Смельчаков только вчера прибыл из каких-то никому неведомых пространств и что Глика была так сердита на него, что даже пресекла его попытку поделиться дорожными впечатлениями. Хорош жених, кипятилась она наедине сама с собой, за полтора месяца ни одного звонка, ни одной телеграммы! Нет-нет, наша помолвка должна быть немедленно расторгнута! Уж лучше я буду флиртовать с Дондероном и Таковским, чем быть своего рода заложницей, а то и наложницей этого малопонятного человека. Малопонятного человека, который считает, что ему все позволено! Талантливого? Да! Смелого? Да! Сильного? Да! Малопонятного? Да! Да! Да!

А вот маменька, подумал Моккинакки, великолепная Ариадна; она ли тут главное действующее лицо, ответственный, так сказать, квартиросъемщик? И как прочесть эти ее нечитаемые мгновенные и уникальные по своей остроте взгляды, которые она иной раз бросает то на мужа, то на соседа, то на услужающего военнослужащего, а то и на вновь прибывшего к месту действия, то есть на меня?

Что касается военнослужащих, то здесь вроде бы не требуется никаких дополнительных догадок, однако и они не так уж просты: вроде хорошо вышколенные специалисты своего дела, да и только, а все-таки чувствуется и в них по отношению к семейству какое-то кумовство. И этот, с мохнатенькими бровками, иной раз из-под бровок своих Кирюшу нашего, гордость армии и флота, слегка ужалит. А напарница-то, щечки-яблочки, все хлопочет-хлопочет, эдакая Нюра, а вот иной раз как-то подбоченится, словно она вовсе и не Нюра, а Анна, будто так и хочет сказать бу-бу-бу самому хозяину.

Единственное лицо, которое не вызывает дополнительных вопросов, – это, конечно, хозяин, сам Ксаверий Ксаверьевич Новотканный, национальное сокровище, которое, будь рассекречено, немедля гением своим огребло бы для страны великую динамитную премию; большущий, добродушнейший мега-ум советской формации. В данном случае, пользуясь авторским своеволием, мы можем сказать, что наблюдательности у адмирала слегка чуть-чуть не хватило. Не заметил он, к примеру, того, что при всем своем добродушии Ксаверий иной раз испытывал

мгновенное желание засандалить кое-кому из присутствующих со всего размаху, да так, чтобы не поднялся.

Да что там говорить, подвел итоги своих наблюдений Георгий Эммануилович Моккинакки, чудесное общество, настоящие советские патриции, можно только поблагодарить Министерство обороны за предоставление квартиры именно на этом этаже, где столь очаровательным образом процветает волнующая девушка Глика.

И впрямь, все сидели в свободных, красивых позах вокруг круглого стола, ужин подходил к концу, все попивали из тонких рюмочек терпкий бенедиктин, производства спеццеха Раменского ликеро-водочного завода, и вели непринужденный разговор.

«Вы знаете, Георгий, – обратилась к гостю Ариадна Лукиановна и как бы предложила ему кисть своей руки с длинной сигаретой „Фемина“, – мы тут часто с подачи Кирилла Илларионовича толкуем Платона и, в частности, дебатируем идею неоплатоновского града. Высотное строительство в столице проявило в нашем обществе что-то вроде высотной группы граждан. Конечно же, не ленивую аристократию, не жадных до деньжат толстосумов, но трудящуюся группу умов, талантов, руководящих качеств, ну своего рода платоновских „философов“, только, уж конечно, как вы понимаете, не „царей“. Что вы думаете, Георгий, соответствуют ли эти наблюдения реальным картинам социалистической действительности или они отражают просто игру ума?»

«Браво, Ариаднушка-матушка! – вскричал Ксаверий Ксаверьевич. – Интересно поставлен вопрос! Очень бы хотелось услышать твое мнение, Георгий! Что думают об этом в военно-морских силах?»

«Позвольте, товарищи, – возразила Глика, – адмирал только что проделал весьма серьезное путешествие! Что же вы его так нагружаете?» Она, казалось, опасалась, как бы Моккинакки не попал впросак.

Кирилл между тем вроде бы спокойно покуривал и сквозь дым подмигивал товарищу по оружию. Что касается спецбуфетчиков, то они без всяких выражений лиц и членодвижений, словно скульптура «рабочий и колхозница», стояли в отдалении.

Моккинакки, конечно, понимал, что ему устраивается экзамен. Вытерев губы безукоризненным платком с монограммой и на мгновение положив свою большущую правую ладонь с перстнем на чуть трепещущую и полностью оголенную левую кисть Глики: дескать, не волнуйтесь, родная, – он начал высказывать свои соображения.

«Ариадна Лукиановна, я вам очень благодарен. Ведь своим вопросом вы сразу приблизили заматерелого охотника за подлодками к вашей высотной группе граждан. Постараюсь не оскандалиться. Мне очень понравилось то, что, говоря о неоплатоновском граде, вы столь естественным образом соединили его с реальной социалистической действительностью, за которую мы сражались в тылах и на фронтах. Я много думал, друзья, о том времени, в котором нам выпало жить, то есть о двадцатом веке. В первой трети этого века в Европе возникли три могучих социалистических общества, отражающих тягу своих граждан к единству. Не подумайте, что я впадаю в какую-нибудь крамолу, но я имею в виду фашистскую республику Муссолини, национальный райх Гитлера и Советский Союз Иосифа Сталина. В принципе, все три этих общества бросали дерзейший вызов буржуазным плутократиям, их лицемерной либеральной демократии. В этом и выражалась вся суть двадцатого века, не правда ли?»

В этот момент хозяин дома, метнув осторожный взгляд в сторону спецбуфетчиков, сделал обескураженный жест обеими ладонями в сторону гостя. «Позволь, Георгий, что за парадоксы ты предлагаешь? Как можно ставить на одну доску бесчеловечные режимы Гитлера и Муссолини рядом с нашей державой, которой мы все гордимся?»

«Ксава!» – урезонила благоверного Ариадна: дескать, не горячись. Изумленная и шокированная парадоксом Глика все же постаралась направить мысль своего столь приятного соседа в должное русло. «Ах, папочка, ведь Эммануил Георгиевич, то есть, наоборот, Георгий Эммануилович, еще не успел развить свою парадоксальную идею, не так ли, товарищ адмирал?» С трепетной надеждой она посмотрела прямо в глаза Моккинакки, и тот ответил ей благодарным наклоном головы.

Эва, какую торпедищу сбросил тут заматерелый охотник за подлодками, подумал с довольно отчетливой для себя неприязнью Кирилл и не произнес ни единого слова.

«Знаешь, Ксаверий, – продолжил адмирал с теплой приятельской интонацией, что дало Кириллу возможность удивиться, когда они перешли на „ты“, – ты очень вовремя упомянул Бенито и Адольфа. Именно они со своими страшными кликами узурпировали стихийные порывы своих масс к единству. Символы фацесты и арийской свастики затемнили сознание масс и отвернули их от единственно верного сияющего символа серпа-и-молота. Идиотская политика правящих клик привела Италию и Германию к сокрушительному разгрому. Вместо трех социалистических структур на карте Европы осталась только одна, наш великий Советский Союз, ведомый мудрым Сталиным. Вопрос сейчас стоит так… – Он на минуту задумался. (Так… так… Так Такович Таковский, вспомнилось вдруг Глике.) – Итак, вот как! – воскликнул он фортиссимо, со вспышкой удивительного вдохновения. – Мы одни представляем сейчас двадцатый век! Мы, только мы, воплощаем огромную, едва ли не метафизическую мечту трудящихся о единстве, о возникновении новой расы землян! Под водительством такой уникальной в истории силы, как наша партия, ведомая личностью невероятного, поистине планетарного масштаба, мы вышли из войны победителями и в невероятно короткий срок преодолели все мытарства послевоенного периода. Европа все еще пробавляется жалкими подачками по плану Маршалла, в то время как мы, ежедневно наращивая темп, становимся основной державой мира, подлинной фортецией истинного социализма. – Удивленный и вроде слегка чуть-чуть несколько смущенный своим патриотическим пылом адмирал на минуту умолк, обвел взглядом сосредоточенно молчащее общество и продолжил в мягкой, задушевной манере: – Должен признаться, я просто поражен темой нашей беседы. Дело в том, что в своей каюте на авиаматке „Вождь“ я держу платоновскую „Республику“ и довольно часто в нее вникаю. Сейчас возникает удивительная связь времен. Две с половиной тысячи лет назад мудрейшие мужи Эллады пытались представить себе идеальную структуру общества, а теперь мы столь успешно воплощаем свой идеал. При всей отдаленности смыслов я иногда думаю, что, не будь Платона, энергетическая цепочка могла бы и не законтачиться, в том смысле, что мы могли не прийти к нашему торжеству именно сейчас и именно в данной форме. Вот почему я думаю, Ариадна Лукиановна, что ваши соображения о „высотной группе граждан“ не только умны, но и детерминированы всем развитием».

Все уже подняли было ладони, чтобы наградить Моккинакки заслуженными аплодисментами, когда вскочил с удивительной живостью академик. «Вот это да! Ну и ну! Как вам это нравится? Вот каковы наши охотники на подлодки! Вот какие Вольтеры гнездятся на авиаматке „Вождь“! Жора, дай-ка я тебя поцелую!»

Моккинакки, готовый отдать ему свои жесткие щеки и мягкие губы, тоже воздвигся за своим сегментом стола. Увы, стол был слишком велик даже для таких величественных мужчин, и поцелуй не состоялся. Качнувшись, Ксаверий Ксаверьевич слегка чуть-чуть потерял равновесие и, пытаясь удержаться на ногах, вляпался своей лапой в спецторт. То-то было смеху, ликования, дружественных взглядов, да что там говорить, сущего восторга, особенно от лица юного поколения. Один только Фаддей с каменным ликом быстро приблизился и мгновенно удалил со стола размазанные сливки с цукатами.

На этой светлой юмористической ноте ужин был завершен. Георгий и Кирилл поцеловали Ариадне Лукиановне ручку. Глика, восхищенная мудростью нового соседа, вальсировала в отдалении и посылала из этого отдаления воздушные поцелуи. Выбравшись благополучно из медвежьих объятий академика атомного ядра и попрощавшись за руку с военнослужащими Спецбуфета, поэт и моряк покинули террасу.

«Когда это ты успел, Жорж, так запросто скорешиться с Ксаверием?» – полюбопытствовал Кирилл.

«Да ведь он у нас на „Вожде“ бывал, и не раз, во время испытаний устройства, – ответствовал Моккинакки. – С нашей палубы мы с ним летали к полигону на Новой Земле».

«И видели устройство в действии? – Задавая эти вопросы, Смельчаков смешивал коктейль в миксере. Можно было подумать, что именно коктейль был для него главной задачей, а вопросы о Ксаверии задаются просто между делом. – Какое впечатление?»

«Апокалиптическое! – захохотал Жорж. – В Японии тебе, небось, показывали Хиросиму? Ну а наше изделие в тридцать раз мощнее».

Смельчаков был изумлен, поставил миксер. «А как ты узнал, Жорж, что я был в Японии?»

Моккинакки снова хохотнул. «Да по радио американскому слышал. Э хьюдж крауд эт зе джапаниз трэйд юнионз ралли гэйв а стэндинг овэйшн то э ноториуз совьет пропаганда монгер, хэндсам феллоу Смэл-Ча-Кау. Понимаешь по-английски?»

«Получается что-то вроде „вонючей коровы“?» – снова изумился Смельчаков. Тут оба стали так бурно хохотать, что попадали в кресла. Вот вам гримасы произношения. Называют красивым парнем и тут же «вонючей коровой». А ведь ты на корову не очень-то и похож, Кир! Скорее уж на ковбоя!

Разговор этот проходил в гостиной смельчаковской квартиры, куда они перешли сразу после завершения ужина у Новотканных. Решено было отдохнуть от изящных манер и поддать по-настоящему, по-солдатски. С этой задачей проблем вроде бы не было. Кирилл сделал несколько коктейлей, но потом они махнули рукой на эту блажь и перешли на чистые напитки. Говорили громко, с хохотом, с матерком, вспоминали разные участки фронта, людей войны, кто выжил, кто погиб, кто искалечился, а кто превозмог ранения, несли всякую похабель и разные романтические истории, травили анекдоты, в том числе истории о Штурмане Эштерхази и Летчике Крастрофовиче. Кирилл сказал, что эти персонажи кочевали по обе стороны фронта; у немцев, дескать, тоже гуляли свои варианты, у англичан, точно, он слышал что-то подобное, все эти былины варились в том грандиозном братоубийственном, в поколенческом смысле, бедламе на манер мотивчика «Розамунда». Георгий не исключал, что были какие-то реальные персонажи под этими именами. Дескать, он однажды, когда перегонял «дугласы» со взрывчаткой в Боснию, слышал о них от партизан как о реальных людях. Будто бы они работают на одном из секретных самолетов маршала Тито. Кирилл сказал, что это вздор. Жорж разозлился. Откуда у тебя такой апломб? В вашей школе что, у всех такой апломб? Вот в нашей школе ни у кого нет такого апломба! Если я говорю, что это не вздор, то это не значит, что это не вздор, а просто то, что я тебе рассказываю, что мне говорили партизаны в Боснии, а это не вздор! И я могу это доказать! Можешь доказать? Могу! Давай заложимся, что не сможешь! Ну, ладно, хватит уевничать! Они замолчали и перестали даже друг на друга смотреть. Все темы вроде бы были исчерпаны. На этом лучше было бы закруглиться и разойтись, чтобы ненароком не испортить отношения. Вдруг Моккинакки, глядя на отдаленный простенок с портретом Сталина, спросил: «Скажи, Кирилл, ты с кем спишь, с мамашей или с дочкой? Или с обеими?»

Последовало молчание. Полная тишина, даже дыхания не слышно. Моккинакки скосил глаза и увидел, что Смельчаков целится в него из «Макарова». Без всякого выражения на лице держит обеими руками тяжелый убойный ствол, нацеленный ему прямо в лоб. Ни малейшего движения.

Моккинакки встал, покопался в карманах и вытащил парабеллум. Встал боком к Смельчакову, настоящий дуэлянт, поднял пистолет над головой. По прошествии нескольких минут Смельчаков опустил свое оружие и покрасовался перед дулом Моккинакки. Тогда и тот сунул свое обратно в штаны.

«Спокойной ночи», – сказал Смельчаков.

«Спокойной ночи, друг», – ответил Моккинакки.

С кислыми рожами они разошлись. Оба злились сами на себя. Экая пошлятина. Гарнизонные игры. Не хватало только убить друг друга.

Кирилл залез в ванну и отмокал там чуть ли не час, то засыпая, то взбрыкивая сначала в горячей, а потом в еле теплой воде. «Смэл-Ча-Кау, – бормотал он. – Вставай, вылезай, ложись спать по-человечески!»

В глухой ночной час он вышел на свой балкон в купальном халате, но с аккуратно причесанной головой. Справа уходили вниз отвесы гигантского здания. Слева громоздилась двойная идеологическая скульптура террасы Новотканных. У ее подножия видна была тоненькая фигура Глики. Она смотрела в сторону Кремля. Их отделяла друг от друга пропасть шириной не более десяти метров. Он позвал ее. Она обернулась и очень серьезно, без всякого удивления на него посмотрела. Большие глаза, великолепная дневная коса превратилась в две ночных, закрученных в стороны; сущий ребенок, грустный бэби с манящей девичьей фигурой. Кам ту ми, май меланколи бэби! Кадл ап энд донт би блю… Он стал говорить ей, что любит ее, что не было дня в долгом путешествии, когда бы он не думал о ней. Он любит ее как вечной, небесной любовью, так и обычной человеческой, страстной. Он знает, что обидел ее, но не по своей вине. Так складывается иной раз жизнь. Порой ее ход диктуется долгом, гражданскими обязанностями. Он

хочет ей прочесть стихи о ней, что сложились на далеких меридианах. Он привез ей кучу подарков. Он… Часть его слов развеивалась в путанице ветров, вечно свистящих вокруг высотки. Трудно сказать, какие слова достигли ее ушей.

«Послушай, Кирилл, – проговорила она, и ветры стихли, – когда ты уехал, вскоре произошел праздник Первого Мая. Я пошла на демонстрацию с университетом, несла там небольшой портрет Сталина, очень живой и человечный. Ты знаешь, он помог мне преодолеть публичное одиночество. Родной Иосиф Виссарионович, думала я, если бы вы знали, как вы дороги одинокой девушке-москвичке! И вдруг, уже на Красной площади, в моей душе стало подниматься что-то ужасное. Я видела его над десятками тысяч голов, ярко-серое пятнышко его шинели на трибуне Мавзолея. И вдруг я почувствовала, вернее, догадалась, что из этой движущейся толпы какой-то человек целится в него из винтовки. С тех пор я постоянно чувствую эту страшную угрозу, она висит над всеми нами. Что ты скажешь, Кирилл?»

«Родная моя! – Ветры опять засвистели, и он прокричал обращение, чтобы она хотя бы это услышала. – Я сомневаюсь, что Сталин боится пули. Ведь, если она его настигнет, он немедленно вернется к нам уже не как человек, но как Бог. Ты понимаешь, моя родная?» Он жаждал, чтобы хотя бы это обращение долетело до небесной невесты, и молил Сталина, еще не Бога, но уже первейшего кандидата: пусть долетит, пусть долетит не от какого-нибудь Жорки Моккинакки, а от меня, только от меня долетит это обращение «моя родная»! Девушки ранних пятидесятых любили, когда к ним обращались таким образом.

Часть II

Юлианский июль

Григорианский июль наступает в середине юлианского июня, и только в середине грегорианского июля наступает настоящий июль, юлианский. Вот тогда даже в Москве с ее постоянной склонностью к метеонасморкам воцаряется настоящая жара и в раскаленном прозрачном воздухе на Москве-реке, словно призраки античного мира, появляются тысячи купальщиков. Нынче, в двадцать первом веке, даже активисты «Гринписа» в самом сладком сне не могут вообразить, как чисты были воды этой реки в 1952 году. Работы по загрязнению в те времена еще не начались, а если уже и начались, то публика этого не подозревала. То тут, то там в городской черте с наступлением жары возникали весьма привлекательные на вид купальни, ну а центром купального сезона, разумеется, становились длинные гранитные ступени ЦПКиО им. Горького, уходящие прямо в воду.

Обнаженный до допустимых в те времена пределов народ стоял, сидел и лежал на этих ступенях. Введенная тогда унификация публики по отраслям деятельности в купальнях, естественно, отсутствовала, так что нельзя было, скажем, отличить дипломата от юриста, горняка от железнодорожника, финансиста от офицера МВД. Словом, если не приглядываться к гражданам, трудно было с ходу понять их чины или статус; обнаженность без труда создавала понятие «демос». Напрашивалось желание сравнить этот демос с купальщиками древнего городского государства Сиракузы, в котором философ Платон предавался своим церебральным упражнениям.

Если взять две этих толпы в целом, то следует, конечно, учесть разницу цивилизаций. Сиракузцы были плоть от плоти древней культуры Средиземного моря, взращенной под щедрым солнцем в трепещущей тени оливковых деревьев, в изобилии фруктов и овощей, парной баранины и козьего сыра. Как и в прочих городах античного мира, они были замкнуты в своей небольшой общине, защищены от вторжения иноземцев стенами крепости и потому не подвержены действию болезнетворных микробов. Можно предположить, что они болели гораздо реже, чем москвичи середины XX века, а стало быть, их тела не были уязвлены последствиями рахита, цинги, туберкулеза, недоедания и безобразного водочного алкоголизма.

Советский народ пятидесятых, как известно, перенес множественные эпопеи массового голода, эпидемий и ужаса, и это, конечно, не могло не сказаться на общем внешнем виде московской обнаженной толпы. Всего лишь семь лет прошло со дня окончания Второй мировой войны, и потому многие тела еще совсем не старого мужского пола несли на себе следы ранений. Нельзя, разумеется, сказать, что сиракузцы не воевали, не раз им приходилось отбивать нападение пиратов, однако следы их ранений являли собой рубцы, оставшиеся от ударов холодным оружием, в то время как на телах москвичей можно было увидеть следы пулевых или осколочных терзаний, а также швов, сохранившихся после хирургических вмешательств. Иной раз на спине ветерана можно было даже заметить слегка ссохшийся и пожелтевший, как стручок, кожный трансплантат. Парадоксально, но факт: в сиракузской толпе купающихся было больше усеченных людей, чем в толпе московской. Дело в том, что бойцы, потерявшие в битвах за город конечности или черты лица, почитались в Сиракузах как герои, в то время как Москва в послевоенные годы постаралась избавиться от неприглядных калек, дабы не омрачать образ великого града как «столицы счастья». Крайне редко можно было заметить в купальнях какую-нибудь умеренную культю, ну а укороченный народ весь был выслан за 101-й километр или еще подальше, предположим, на остров Валаам.

Что касается разделенных двадцатью пятью веками юношеств, то они, следуя совершенству греческих скульптур, по всей вероятности, мало отличались друг от друга: все те же бицепсы, трицепсы, мускулюсы глютеус и брюшные прессы, подобные панцирям черепах. Одни лишь гениталии основательно за эти века разрослись, очевидно, вследствие чрезмерного онанизма, распространенного в казармах труда и обороны.

Теперь поговорим о купальных модах. Вот перед вами сиракузская агора с ее банями, бассейнами и фонтанами, со спусками к темно-зеленому аквамарину бухты. Проходят женщины, позванивая браслетами рук и ног, финифтью своих монист. Девы вступают в воды, с каждым шагом все выше поднимая свои купальные хламиды и наконец, пустившись в плаванье, одним изящным движением обкручивают их вокруг головы. Зрелые матроны нередко обнажают груди на манер богорожденных вроде кносской царицы Пасифаи, остается лишь повязка белой или цветной ткани вокруг чресел. Старухи, хохоча, сидят в бочагах совершенно нагие, поскольку мало кто на них обращает внимание. Юноши длинными шагами летят к воде, лишь налепив на пиписку фиговый листочек. Весомые мужи степенно прогуливаются в фонтанах, а их пенисы покачиваются, будто утвердительно кивая в ответ на серьезные мысли.

Девы, матроны и старухи социалистического общества береглись от взглядов мужчин, закрывая молочные железы и межножие плотной тканью трусов и грудодержателей. Иной раз, впрочем, среди них мелькали и предметы интимного, то есть манящего, обихода, так называемые «комбинации» на бретельках и с кружевными каемочками. Носительницы этих едва ли не прозрачных одежд подвергались молчаливому, а порой и чрезвычайно шумному, крикливому, с матерком, осуждению. Что касается сильного пола, то он в купальнях просто-напросто стягивал брюки и оставался в длинных черных, так называемых «семейных» трусах. Никому и в голову не приходило, что этот всесоюзный товар предвосхитил модные, чуть выше колен шорты. Народ помоложе между тем подвязывал скротум полоской сатина с тесемками на боку, так называемыми «плавками».

Вообще-то тон на реке задавала та часть молодежи, которую называли коротким нерусским словом «спорт». Принадлежность к спорту означала высшую категорию. Она оставляла далеко за кормой любительщину, именуемую «физкультурой», которая почему-то считалась словом сугубо русским. Парни и девушки в майках «Динамо» или «Спартака» горделиво несли цвета своих клубов. Еще более исключительную, или, как сейчас бы сказали, «элитную», часть молодежи составляли те, кому посчастливилось какими-то неимоверными путями добыть трикотажные шерстяные плавки или купальники. Предметы эти вызывали всеобщее завистливое удивление. Вот вам пример подобного умопомрачительного явления.

Заканчивается гребная регата студенческого спортобщества «Буревестник». Победоносные байдарки МГУ после пересечения линии финиша подплывают к гранитным ступеням ЦПКиО. Стройные и сильные девушки в сине-белой форме несут свои суда на плечах к расположившейся на набережной базе. Потом возвращаются за веслами. Одна из байдарочниц отстает от подруг и, опершись на свое весло, оглядывает толпу купальщиков. Смех, бурные аплодисменты. В чем

дело? Оказывается, гребунья (или гребчиха, если угодно) полностью повторила позу стоящей у нее за спиной знаменитой скульптуры «Девушка с веслом». Живая девушка (это, разумеется, наша героиня Глика Новотканная) оглядывается. Великолепная гипсовая копия шедевра напоминает ей ее шедевральную матушку Ариадну Лукиановну Рюрих. Расположившаяся неподалеку компания стиляг в разноцветных шерстяных плавках восторженно подсвистывает. Юрка Дондерон от полноты чувств сильно разбегается и производит безупречное сальто. Глика со смехом убегает в раздевалку.

Пока она меняет форму гребной команды на купальник, я, Так Таковский, стою возле «Девушки с веслом» и размышляю о сходстве и различии людей двух утопий. Дверца кабинки наконец открывается, и Глика выходит, обтянутая изумрудным шедевром французского трикотажа. Ее появление в новом качестве вызывает на гранитных ступенях массовый шок сродни тому, что случился на картине Карла Брюллова при употреблении неожиданно интенсивных красок.

Этот купальник привез ей «небесный жених» из долгой франко-японской экспедиции по добыванию мира во всем мире. Он был лишь малой частью обширной коллекции даров, однако с особым прицелом на летний сезон. Вот рванем с ней в Сочи, думал Кирилл, вот там она будет щеголять в этой классной тряпочке, больше поверит в прелесть своего тела, в свою магнитность, вот там все и свершится.

- Цветы поставим в чудо-вазу,
- Моя прелестная коза,
- И там начнем иную фазу,
- Как вождь народов указал.

Среди коллекции даров были предметы, к которым Глика не знала даже, как подступиться. Ну, например, некоторые флаконы духов. Неоткрывающиеся флаконы! Что за глупость? Как же тут добраться до чудесной «Балансиаги»? Оказывается, нужно только нажать на верхушку флакона, и в тебя полетит интенсивный пучок брызг. Или вот еще пример: умещающийся на ладони магнитофон с набором джазовых мини-бобин. Можно гулять, а из кармана будут петь сестры Берри.

Увидев всю эту коллекцию разложенной на любимом туркменском ковре Кирилла, Глика проявила всю гамму своих девических чувств: от отвержения через высомерие («у советских собственная гордость!») к снисходительному интересу и наконец к взрыву восторга, столь мощному, что из него просто не могло не вылупиться сильнейшее желание дарителя немедленно отблагодарить. Не веря самой себе, она растянулась во всю длину на тахте и потянула его за руку на себя. Не менее дюжины страстных поцелуев были лишь началом благодарности. Потом она стащила через голову свитерок и отдала ему свои груди с набухшими от страсти сосками. Он стал целовать эти соски, вернее, сосал их. Ее рука стала искать вход в его промежность, но не могла найти ни одной пуговки на его удивительных брюках. Он показал ей, как опускается вниз застежка «зип», и извлек свой увеличившийся и твердый, словно статуэтка из слоновой кости, член. (Слово «статуэтка», между прочим, появилось неслучайно: совсем недавно он видел статуэтки японских пенисов в музее неподалеку от Наро… нет-нет, не от Наро-Фоминска, а от синтоистского монастыря Нара.) Она взяла в ладонь этот предмет и сжимала его чуть пониже головки. Потом подлезла туда всей головой и водила предметом по своим щекам, поцеловала его несколько раз и даже один раз лизнула во всю длину. Между тем его рука давно уже держала весь ее цветок в своем объятии. «Кирилл, любимый, как я благодарна тебе за твою заботу, – шептала она, – только, пожалуйста, не делай главного… пока нет, но скоро да… скоро-скоро да… но пока еще нет». Тут ее пронзила удивительная мысль, что она ведет себя почти как проститутка. Благодарит щедрого мужчину за дары, за удивительные, роскошные вещи. В этом, наверное, и гнездится суть женщины – благодарить мужчину своим телом за его заботу, за дары. И тут она, словно стараясь предотвратить неизбежное терзание цветка, взяла в рот всю его статуэтку и вскоре заполнилась ее содержимым. Вот это да, ну и ну!

Потом они долго лежали, прижавшись друг к другу. Он гладил ее по голове. «Глика, дурочка, кто тебя всему этому научил?» Она смеялась, гордая своим женским «проститутским» опытом, но уже старалась выбраться из объятий, чтобы предотвратить новое посягновение на цветок. «Это в университете мне подкинули затертую дореволюционную книжонку, – соврала она. – Спустили с

верхотуры на лекции по политэкономии. Видно, кто-то всерьез заинтересован, хм, в расширении моих горизонтов».

«Уж не Юрочка ли Дондерон?» – хохотнул он.

«Ну что ты! Юрочка еще сущее дитя. – Она выбралась из объятий и натянула кофточку. – Скорее уж Боб Ров, он там считается главным специалистом по „Камасутре“. А, кстати, куда пропал твой странный друг и наш сосед, адмирал Моккинакки? Уж две недели, как о нем ни слуху, ни духу».

А почему же тогда кстати? – подумал Кирилл. Почему же «кэситати», вспомнил он Амаяка Захаровича. Какое же может быть «кэсэтати» между моей «девой радужных ворот» и охотником за подлодками?

Он и сам уже недели две, а то и больше не встречал Жоржа. Перед тем как исчезнуть, тот наведался к нему с тремя бутылками экстрасекретного молдавского хереса. «Только ты, Кир, можешь оценить этот напиток!» Мало кто на поверхности обращался к Смельчакову с этим укороченным именем, а вот в резерве все называли именно так: Кир. Он заткнул правым мизинцем левое ухо, а левой ладонью сделал крышечку над макушкой. Жорж ответил правильно, создав с помощью третьего пальца левой и большого правой фигуру «я свой», но воздержался от дальнейшей сигнализации.

«Послушай, Кир, мне чертовски деньги нужны», – сказал он запросто.

«Сколько?» – в той же манере спросил Кирилл.

«До черта, – со смешком сказал Жорж. – Сто тысяч».

Кирилл вытащил из конторки тот самый «докторский чемоданчик» с вааповским гонораром, который он ни разу не открыл с того мартовского дня: денег и так хватало. «Черт, не могу ключей найти», – пробормотал он. «Да ну, какого черта!» – Жорж подсунул длинный ноготь мизинца под петельку замка. Чемоданчик раскрылся. Емкость вся до предела была заполнена пачками ассигнаций с гербом Советского Союза и с портретом Сталина. Жорж присвистнул.

«Слушай, ты знаешь, что у тебя тут целое сокровище? Это вовсе не деньги, а векселя социалистической империи, десятитысячные билеты, которых никто из граждан СССР никогда не держал в руках. Эти билеты примет любой банкир по высочайшей ставке. Откуда они у тебя?»

«Понятия не имею, – пожал плечами поэт. – Какая-то чертовщина».

«Вот именно». – Жорж качал своим длинным носом и поверх носа смотрел на Кирилла сгустившимися до коньячного цвета глазами.

«Слушай, Жорж, мне этот чемоданчик в марте в ВААПе вручили и ведомость дали подписать на 248 тысяч рублей, выплата за стишки, превратившиеся в песни. А тут этих таинственных векселей, я смотрю, на…»

«Миллионов на десять, – прикинул Моккинакки. – От кого ты мог получить такой дар? Может быть, сам черт тебя попутал?»

«Ты что имеешь в виду? – спросил Смельчаков. – Точнее, кого?»

«Да никого, – ответил Моккинакки. – Просто фигура речи».

Он, видно, что-то знает о моих ночных беседах, подумал Смельчаков, но виду не подал. Открыли первую бутылку хереса. «Вот это напиток!» «Ну я же тебе сказал. У меня там друг есть, в молдавских подвалах». «У тебя, похоже, везде есть друзья». «Ну не везде, но есть. В их числе ты, Кир, я надеюсь?» «В этот херес надо маринованную маслину опускать, не находишь?» «У тебя есть маслины?» «Да вот банка маслин перед тобой». «Ты прав, с маслиной вообще класс». Открыли вторую бутылку.

«Завтра отнесу все это хозяйство куда положено», – сказал Кирилл и слегка оттолкнул от себя раскрытый чемоданчик.

«Не пори горячку! – гаркнул Жорж. – Тебя там сразу с таким добром возьмут под стражу! Даже тебя! А ВААП весь отправят на Колыму! Включая гардеробщиц, Кир, включая гардеробщиц! – Он вынул из чемоданчика пачку десятитысячных бумаг, схваченную ленточкой Центрального банка. – Давай лучше отложим все это на месяц. Если уж у тебя этот золотой теленок лежал три месяца без движения, почему ему не полежать еще месяц? За этот месяц я с предельной острожностью, точнее, с осторожностью, не называя никаких имен и не упоминая никакого черта, ни слова ни о какой чертовщине, обсуждаю эти векселя со своими братанами с „Коминтерна“, ты их помнишь, железные ребята. За это время ты не говоришь об этом никому, ни мужчине, ни женщине, ни богам, ни чертям, ни днем, ни ночью. Через месяц я возвращаю тебе взятую сумму, взятую не для

себя, а для спасения моего дяди в Узбекистане, и тогда мы решаем вопрос, что делать с чемоданчиком».

«Лучше всего было бы бросить его в реку», – предположил Кирилл.

«Гениальная идея! – вскричал Жорж. – На крайний случай это просто гениальная, слушай, гениальнейшая идея! Однако спешить не надо. Хорошо бы проверить эти векселя. Проверить на подлинность. Не исключено, что с их помощью можно спасти много людей в Узбекистане, в Абхазии, в странах народной демократии, даже в Москве, Кир, даже на самом высшем уровне. На самом, самом, мой дорогой, откуда выше уже нельзя! Теперь главное – спокойствие, постоянная подзарядка аккумуляторов оптимизма. Ведь мы с тобой недаром, Кир, прошли школу ленинского комсомола!»

С этими словами он положил миллионную пачку не-денег в карман и исчез. Кирилл отнес «докторский чемоданчик» в чулан и поставил его там рядом как раз с запасными аккумуляторами. Он был почти уверен, что этим чемоданчиком Гага и Сосо расплатились с ним за Эсперанцу. На Кавказе все-таки принято не жалеть денег за хорошую девушку.

«Давно ли ты не видела этого нашего соседа?» – спросил он Глику.

«Три недели и два дня, – ответила дева с удивительной точностью. И добавила: – Наш папочка тоже почти столько же дней в отсутствии».

«А где же Ксаверьевич Ксавочка обретается, ты не можешь сказать?» – поинтересовался Кирилл, вставая и одним, поразившим ее движением, снизу вверх, закрывая свой поддон.

«Кирилл, ну ты же знаешь, это государственная тайна», – проговорила она, подавляя желание снова взяться за железочку «зипа».

«Ну вот видишь», – сказал он.

«Что?» – ужаснулась она.

«Да ничего страшного, – улыбнулся он. – Не исключено, что они оба обретаются сейчас в одном месте, а именно на авиаматке „Вождь“, возле Новой Земли. Проводят какие-нибудь жизненно важные научные испытания. Не побоюсь тебе сказать, что в этом доме немало мужчин время от времени исчезают. Знаешь, дорогая моя, государственную тайну одним движением не откроешь».

«Прочти мне что-нибудь из нового, – попросила она. – Только не из „Тезея“. И не из „Дневников“. И не из „Испании“.

Он стал читать из нового цикла «Ночные звуки Первомая».

- Ах, девушка моя родная,
- Под звуки красного числа
- Ты шла, сияя и рыдая,
- Портретик Сталина несла.

Так вот, значит, что нужно делать, чтобы стать лирической героиней, печально думала она. Спасибо, мамочка, за вашу книжечку, столь изящно забытую в ванной.

На прощанье поэт неудачно пошутил: «Смотри, поосторожней на лекциях политэкономии».

Она долго плавала под ослепительным небом, лавируя среди визжащих, хохочущих и ойкающих московских тюлених и фыркающих матерком тюленей. Посредине реки ложилась на спину, делая вид, что не замечает фотографирующих ее с двух яликов стиляг. Наконец, выбежала из воды и взлетела по ступеням, рассыпая массу сверкающих, изумрудно отсвечивающих от купальника брызг. Уселась прямо на граните, стала отжимать весьма отяжелевшую косу.

Мы подошли к ней вместе с несчастным Дондероном. Можно к вам присоединиться, мисс? Она с интересом уставилась на меня. Ах, это вы, Таковский! Прошу вас, сэр. Юрка безотчетно кусал губы. Тут следует отметить, что он был в великолепных шерстяных плавках, а я в синих трусах х/б, но зато с недурной вышивкой по бокам: на правом боку негр с трубой, на левом – дева с веслом, кое на кого похожая.

«Экие у вас штаны заграничные, Так Такович!» – насмешливо восхитилась Глика.

«Чисто казанские, – сказал я. – Просто девчонки с санфака сделали вышивку мулине. – И пояснил: – По моим рисункам, конечно».

«Браво, браво, какой разносторонний талант! – еще пуще насмешничала Новотканная. – Экий Леонардо да Винчи!»

Юрка, конечно, не удержался от остроты: «Да Винчи, да недовинченный». Я бы тоже не удержался от точно такой же остроты. Мы уселись на ступеньке рядом с Гликой, я справа от нее, Дондерон слева.

«Я очень польщен, мисс, что вы запомнили мое имя», – сказал я.

«Позвольте, но как можно такое имя забыть, Так Такович Таковский?» – продолжала она театральничать.

«Ну и девчонка!» – подумал я. Юрка, отвернувшись, насвистывал блюз из кинофильма «Рим в 11 часов».

«Прошу прощенья, вкралась небольшая ошибка, – сказал я. – Вы говорите Такович, а надо Тако́вич. Ударение на втором слоге».

«Спасибо, что не дали мне за это оплеуху», – с полной серьезностью сказала она.

Я чуть не задохнулся от восхищения. Во всей Казани, даже на инязе педа, не найдется девки, которая бы смогла так словесно срезать!

«Ну а как насчет очередного экспромта? Потянете?» – спросила она. Она, видно, думала, что «девку окаянную» я заранее на Первомай подготовил. И тут же я начал рубать «лесенкой» в духе Маяковского:

- Товарищи, мне нравится
- Одна комсомолка!
- Ее фигура —
- Сплошной изумруд!
- На губах у нее
- Насмешки колкие,
- Ну а в мыслях
- Любовь и труд!

Она одарила меня поистине изумрудным хохотом. «Вот это да! Ну и ну! Каков Такович!» Интересно будет заметить, что даже страдающий Дондерон засмеялся.

Как вдруг смех оборвался. Оба персонажа уставились сверху в умеренно обнаженную толпу, как будто там появилось нечто экстраординарное. Между тем там просто шествовал патриций. Молодой мужчина в белом купальном халате медленно пробирался через простецкую толпу москвичей. Движения его были исполнены уверенности, черты лица выражали благосклонность и улыбчивость. Если бы не светлая копна волос, я бы сказал, что он похож на Роберта Тейлора из «Моста Ватерлоо». С этой копной волос он больше напоминал советского киногероя Самойлова или, скажем, поэта Смельчакова.

Он снял халат. Никаких жиров, хотя слегка, самую чуточку, чуть-чуть боковины нависают над краем плавок. Грудная клетка, однако, слегка чуть-чуть дисгармонична. Ага, следы пулевых ранений, три маленьких кратерка, по диагонали в ряд. Должно быть, стреляли из автомата в упор.

«Этот парень, ну вон тот, на кого все смотрят, как видно, воевал всерьез», – сказал я.

Тут я заметил, что Глика и Дондерон впервые обменялись взглядами. Прочесть эти взгляды мне не удалось.

«А вы знаете, кто это, Такович? – с некоторой лукавинкой спросила Глика. – Семижды лауреат Сталинской премии Кирилл Смельчаков». «Вот это да! Ну и ну! – вскричал я с непосредственностью провинциала. – Неужели тот самый, „поэт Надежды“?!»

«Кирилл!» – Глика подняла обе руки над головой и стала как бы полоскать кистями воздух. Странный жест: с одной стороны, знак капитуляции, а с другой – полная легкомысленность. Поэт отыскал ее взглядом и мгновенно просиял. Отличный кадр: поэт, просиявший при виде девушки. Он показал жестами свои намерения: сейчас, мол, искупаюсь и подойду. Пощелкал по циферблату часов на запястье. Показал перстами цифру 10. Пошел к воде.

«Глика, видите, часы забыл снять этот ваш… товарищ… Хотите, догоню?» Настроение у меня пошло вниз. Хотелось прекратить весь этот дурацкий флирт, обмен подколочками. Радио над пляжем сильно вопило: «Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой…»

«Да у него „Командирские“, водонепроницаемые», – пробормотал Дондерон.

Смельчаков приближался к воде. Какие-то девахи лезли к нему за автографами, то есть, если перевести на патриотический, за «саморосписью». Прыгнул в воду, поплыл хорошим брассом. Мы трое замолчали, как будто потеряли нить беседы. Я стал выискивать в толпе современников

Кирилла Смельчакова со следами боевых ранений и сразу одного нашел. Чуть ниже по ступеням, спиной к нам стоял некто довольно длинный и узкий, но с мохнатыми тяжелыми плечами, с лысой смуглой башкой, напоминающей желудь. Под левой лопаткой у него наблюдался довольно глубокий каньон. Наверное, осколок пропахал.

«Вот интересно, если сравнить… – вяловато начал я, – …сравнить, скажем, раны наших ветеранов с ранами героев какого-нибудь античного града, ну, скажем, Сиракуз… Тоже ведь резня порядочная была две тысячи лет назад, но только холодным ведь оружием, верно? Да и хирургия еще была не на высоте…»

«Послушайте, Таковский, откуда вы знаете про Сиракузы? – с чрезвычайным возбуждением спросила Глика. – Мы дома только и говорим про эти Сиракузы, а вы-то откуда знаете?»

«Да из Платона, – промямлил я. – Там его вроде в рабство продали, потом он вроде бежал, бродил там как неприкаянный…»

«Юра, – вдруг повернулась она к Дондерону. Тот вздрогнул. – У твоего друга какая-то специфическая фантазия. То он про вечную ссылку какую-то говорит, то про раны, то про рабство Платона… – И вдруг воскликнула: – Вот это да, это он!»

Последний возглас был вызван тем, что человек с каньоном под левой лопаткой повернулся к нам в профиль. Теперь мы видели его крупный нос, выпуклую грудь, впалый живот, увесистый гульфик плавок, длинные квадрицепсы нижних конечностей. Фигурой он был похож на бывшего чемпиона по легкой атлетике. Вылупив свои чудесные зенки, Глика не отрываясь смотрела на него. Мы для нее перестали существовать.

«Ты не знаешь, кто это такой?» – спросил я Юрку.

«Случайно знаю, – ответил тот. – Это юрисконсульт Крамарчук. Работал с моим батей над договором по полному собранию сочинений».

«Что за вздор ты несешь, Юрка! – Глика как завороженная смотрела на человека с каньоном под левой лопаткой. – Это же наш сосед, контр-адмирал Моккинакки. – Она встала, вытянулась всей своей тонкой фигурой и стала махать рукой. – Товарищ Моккинакки! Георгий Эммануилович! Жорж!»

Товарищ, названный почти одновременно юрисконсультом и контр-адмиралом, услышав ее голос и увидев машущую руку, растолкал стоящих поблизости купальщиков и помчался вверх, к нам, каждым огромным скачком преодолевая несколько ступеней. Через несколько секунд он был уже на нашем уровне и полетел вперед, уподобляясь древнегреческим бегунам с краснофигурного килика. Я ждал увидеть вблизи какое-нибудь человеческое чудовище, но он, приблизившись, явил вполне приятную смуглую ряшку еще не старого, хоть и лысого мужчины, сияющую от счастья видеть второкурсницу МГУ Глику Новотканную.

«Глика! Родная моя! Я тебя повсюду искал! Сегодня утром прилетел! Бросился на восемнадцатый, не нашел! Бросился на Манежную – не нашел! Вдруг увидел регату на реке! Интуиция подсказала – гони туда, в ЦПКиО! Спасибо ей! Вечное спасибо ей!»

«Да кому, Жорж? Кому?» – смеялась счастливая Глика.

«Интуиции, Глика! Не подвела!»

Он обхватил ее за талию и даже слегка приподнял, а она слегка на нем повисла. Вот странная несоразмерность, подумал я. Допустим, я или Дондерон влюбляемся в женщину бальзаковского возраста. Разве мы будем у всех на глазах сиять от счастья при встрече с такой женщиной? Скорее уж будем проявлять сдержанность, не правда ли, Дондерон? А тут у всех на глазах чувиха нашего юношеского возраста вне себя от счастья навешивается на лысача! Это все Хемингуэй натворил, согласен, Юрка? Бальзак совсем еще годных женщин облажал, а Хем героизировал пожилую мужскую кобелятину. Не плачь, Дондерон, мы тоже такими будем, если в тюрьму за джаз не сядем. Ну вот, она уходит с этим Кокки-мокки-накки-такки, а нам, мальчикам, даже «пока» не говорит. Остается только посмотреть, как вернется из плаванья поэт Смельчаков.

Длинный жаркий день юлианского июля подошел к концу. В светлом еще небе над Яузской высоткой и над башнями Кремля стали появляться планеты. Венера, как всегда, опередила сестер с мужскими именами. Зажег все огни покачивающийся духан под названием «Ресторан Поплавок». Сходни его угрожающе прогибались под тесной очередью, но люди готовы были пойти на любой риск ради счастья попасть внутрь, где стучал барабан Лаци Олаха и где звучал манящий баритон Гурама Апчхидзе. Тот пел:

- Здравствуй, здравствуй, друг мой дорогой!
- Здравствуй, здравствуй, город над рекой!
- Видишь, я прошел все испытания
- На пути к свиданию с тобой!
- Здравствуй, здравствуй, позабудь печаль!
- Здравствуй, здравствуй, выходи встречать
- В город, что прошел все испытания
- Под высоковольтною дугой!

«Послушай, Жорж, что это он поет такое несуразное? – спросила Глика. – Ведь это же популярная песня, и никогда там никакой высоковольтной дуги не было».

Они танцевали что-то вроде танго. Крепко обняв, он вел ее длинными шагами, поворачивал то направо, то налево в зависимости от танцевальной обстановки, слегка сгибал в талии. Елки-палки, думала она, ведь никогда прежде не ощущала я прелести танца, никогда не чувствовала себя так надежно и любовно в объятиях мужчины. Можно было только удивляться, как он умудряется не наступить ей на ногу, какую изящную фигуру танца они выписывают, особенно шествуя вбок, щека к щеке.

«Ха-ха, родная моя, – ответствовал адмирал, одетый в чесучовый большущий костюм с кокеткой и накладными карманами, то есть как сущий юрисконсульт, – надо посочувствовать Гурамчику Апчхидзе, ей-ей. Он эту песню поет уже несколько лет, каждый день и не менее чем по пять раз в вечер. Можешь себе представить, что бы с ним стало без высоковольтной дуги?»

В этот как раз момент вся публика, так здорово прожаренная сегодня под юлианским солнцем, так вкуснецки нажратая уже карским под водку, так эротомански уже пропотевшая в танце, хором грянула повтор:

- В город, что прошел все испытания
- Под высоковольтною дугой!

Взрыв восторга, буря аплодисментов певцу. Апчхидзе раскланивался, творчески полностью удовлетворенный. Следует сказать, что через неделю он был уволен из Москонцерта за «идеологически двусмысленное извращение утвержденного репертуара».

«Мне кажется, что все тут только и ждали этой высоковольтной дуги», – хохотала Глика. Моккинакки склонился к ее уху, похожему на отдельное идеальное существо. «Между прочим, родная, это я подсунул Гурамчику эту дугу. Пообещал и в будущем поработать над текстом, да вот все времени нет». Красавица в «хорошеньком костюмчике», как о ней говорил ресторанный люд (костюмчик, между прочим, был от Коко Шанель), смотрела на него обалденно влюбленными глазами. «Ах, Жорж, ты такой странный, просто невероятный, какой-то вообще карнавальный! А ты знаешь, что я фактически первый раз в ресторане, да еще и с мужчиной такой стати?»

Рестораны в советском обиталище хоть и существовали, но считались местами повышенной подозрительности, каким-то наследием прошлого, своего рода капищами греха. Глика и сама как член университетского комитета комсомола не раз участвовала в проработках студентов, которые по каким-то непонятным для нее причинам зачастили в эти заведения.

Жорж Моккинакки чокнулся с ней шампанским, погладил по плечику, а потом и по спинке. «Детка моя, тебе еще немало предстоит совершить первых шагов». И вдруг почувствовал, что ее рука с некоторой даже смелостью совершает путешествие от его колена вверх по бедру. Боги Олимпа, Лапландии и Канина Носа, она потупила глазки, а потом посмотрела исподлобья.

«Послушай, Глика, а что, если нам отправиться вдвоем в Абхазию?»

«Когда?» – прошептала она.

«Да вот прямо сейчас!»

«С тобой, Жорж, я готова куда угодно, а тем более в Абхазию».

Абхазия на особом режиме

Ночное шоссе, протянутое недавно к Быковскому аэропорту, было почти пустынным. Только кошки да ежи иной раз пересекали его в свете автомобильных фар. Моккинакки Георгий Эммануилович сам вел свой старый трофейный «Опель-адмирал». Работал классный эсэсовский

приемник. «Радио Монте-Карло» передавало только что вошедший в моду и тут же перелетевший через «железный занавес» вальс «Домино». Глика, положив голову на верное, навсегда верное, категорически непреклонно верное плечо Жоржа, подпевала медленно кружащейся мелодии. Неужели это реальность, думал Жорж, неужели это происходит со мной, разве маленькая моя муттер думала когда-нибудь, что ее пацанчик с цыпками вырастет в такого, что там говорить, сильного плешивого неотразимого мужчину?

На Быковском аэродроме базировалось много разной летающей шелупени, в основном «Яки» санитарной авиации. «Опель» проследовал мимо этих машин к глухому забору со сторожевой вышкой. Бесшумно открылись ворота. Контр-адмирал на «Опель-адмирале» въехал на территорию секретной зоны. Там все выглядело иначе. Вдоль построенной по последнему слову взлетно-посадочной полосы стояло несколько новинок, реактивных МИГов, а также какой-то четырехмоторный гигант странных очертаний и непонятного назначения. Из него как раз спускались уставшие летчики. Они помахали адмиралу. Тот ответил им через открытое окно двумя дружескими жестами левой руки: большой палец вверх и «очко».

«Ребята только что с задания. Фотографировали эскадру НАТО». Глика постаралась укрыться за верным плечом. Матушка моя Ариадна Лукиановна, куда это ваша дочка заехала?

Машина свернула на боковую бетонку и через лесопосадки выехала к светящемуся под луной пруду. Посредине пруда чуть покачивался на серебристой зыби гидроплан, похожий на тот самый, что приводнился у подножия Яузской высотки всего лишь месяц с небольшим тому назад. Впоследствии выяснилось, что это и был тот самый, только в тот раз он был в полном комплекте, включая экипаж из шести человек. Сейчас влюбленных встретил на борту только один пилот по имени Семен, мужчина примерно того же возраста, что и Моккинакки, с короткой трубочкой в зубах, с поблескивающим в этих зубах золотишком.

«Знакомься, Семен, – сказал адмирал, – это та самая девушка, о которой я тебе так много».

Семен проявил чрезвычайную галантность: «Дорогая Глика, со слов Жоржа я представлял себе что-то исключительное, однако действительность превзошла все его дифирамбы».

В задней части машины было что-то вроде крошечной каюты с большущим диваном. Оставив там Глику, Жорж ушел в кокпит. Через несколько минут она увидела в окошках, что высоко подвешенные под крылья моторы начали раскручивать пропеллеры. Еще через несколько минут они были уже в чистом ночном небе. Пруд быстро уходил вниз и наконец, превратившись в сверкающее под луной блюдце, исчез из поля зрения.

Моторы гудели ровно и надежно, а у Глики стали постукивать зубы, подрагивать пальцы. Неужели это произойдет здесь, в воздухе, вот именно в гидроплане? Нет, это невозможно! Я притворюсь спящей, он должен понять, это был слишком длинный, слишком утомительный день даже для девушки в девятнадцать лет: я выиграла заезд на байдарке-одиночке, я восхитила огромную толпу в ЦПКиО, я кокетничала с мальчишками, ждала уплывшего Кирилла, «небесного жениха», с которым однажды уже грешила на французский манер, а вместо него появился мой возлюбленный Жорж, жених земной, который уволок, как раз уволок меня в небо, мы пили шампанское, мы танцевали танго под высоковольтною дугой, мы ехали ночью в Быково, мы слушали «Радио Монте-Карло», кружилось «Домино», отнюдь не «Динамо», мы полетели в Абхазию, ах, всего было слишком много для девушки, которая боится мужчин, которая никогда раньше не поднималась в воздух, ну ясно, что она может заснуть как убитая на этом широком мягком диване. Но если он влезет сюда, и сядет рядом с моим спящим телом, и начнет меня ласкать под своим отеческим взглядом, будет шептать «детка моя», а потом начнет меня раздевать и полезет в меня как муж, прямо здесь, прямо в полете курсом на юг, что тогда?

Мы могли бы слукавить, разбросать многоточия, позволить себе некоторые туманности, увы, действие наше подходит к кульминации, и мы не можем здесь заменить круто-сваренный реализм сентиментальностью всмятку. Все произошло именно так, как предполагала Глика, за исключением того, что она решила не притворяться спящей. Жорж влез в каютку и сразу без церемоний сделал Гликино ложе общим. «Глика, родная моя, с этого момента вся жизнь моя будет принадлежать тебе. Это не я тебя покоряю, а ты берешь меня себе». Он аккуратно стал ее раздевать, не забывая покрывать поцелуями каждую новую обнаженность. Упомянутая уже мягкость его губ сделалась совсем уже неотразимой в связи с накоплением в них (в губах) любовного электричества. В то же время он беспредельно старался не вмешивать в эту активность

свой чрезмерно крупный и твердый нос, дабы не оставить на нежных ланитах девы нежелательных вмятин. Двигаясь над трепещущей обнаженной Гликой, он ни на минуту не забывал о тяжести своего мощного тела. Каждую, даже секундную паузу между поцелуями он заполнял жарким шепотом, типа «родная», «любимая», «детка моя». Эффективность поцелуйной работы, особенно в области живота, оказалась такова, что Глика перестала дрожать и испытывала теперь только жажду все большей и большей близости. Он сразу понял, что имеет дело с девственницей, и потому, начиная ласкать пальцами ее межножие, не уставал повторять: «Все будет хорошо, родная… все будет нежно, сладко, любимая… не будет никаких терзаний, детка моя…» И наконец, находясь в вертикальном положении над ее телом, то есть фактически образовав прямой угол, он стал медленно вводить в ее влагалище свой, столь любимый женщинами разных гарнизонов пенис, то есть единственный орган, которому надлежало быть предельно твердым в соитии.

«Жорж, неужели ты во мне?» – сквозь счастливые слезы вопросила девушка.

«Полностью, дочка моя», – чуть цокнув языком над неблагополучной коронкой, ответствовал он и тут уже с предельной бережливостью накрыл своей волосатостью ее нежное тело.

Почти всегда, подходя к оргазму, он начинал чувствовать женщину не как отдельный организм, а как нечто соединившееся с ним, то есть совпавшее со всеми очертаниями его тела. Ну а сейчас, держа Глику всеми конечностями, он ощущал ее, как нечто вроде эмбриона в его собственном теле и испытывал к ней совершенно чудовищную любовь. Что касается девушки, то она, потрясенная тем, как быстро боль перешла во все нарастающий сладостный жар, чувствовала себя одновременно и жертвой и владычицей, а мужчина, творящий все это чудо, казался ей огромным, как весь мир, ангелом-демоном.

Они заснули, держа друг друга в объятиях. Головка ее с перекинутой косой теперь покоилась на его волосатой груди. Иногда сквозь сон она высовывала язык и слизывала его пот, скопившийся в этих дивных зарослях. Они парили в каких-то высотах, забыв о приближающейся Абхазии, не чувствуя вибрации алюминиевого корпуса и не слыша рева двигателей, преодолевающих метеорологический раздел небес. Несколько раз они просыпались, чтобы продолжить свой пир. Она блаженно стонала, он выспренно кряхтел. Однажды он даже водрузил ее сверху на свой перпендикуляр, и она замечательно смеялась, воображая себя всадницей.

Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем они почувствовали холод. Дело в том, что отопительная система этого превосходного гидроплана была еще далека от совершенства, во всяком случае, ее нельзя было даже поставить рядом с отопительными системами современных гидропланов. Счастливые и склонные к невероятному оптимизму даже в этих далеких от совершенства условиях, они беспечно издевались над своими посиневшими носами. Жорж приволок целую кучу кожаных курток на цигейковом меху. Был повод похохотать и над куртками. Жорж сказал, что он сейчас устроит завтрак с горячим кофе, и отправился в кокпит. Она увязалась за ним, но тут по дороге в этот самый юмористический кокпит какая-то струя, негодяйка, хлестнула прямо в лоб нашему советскому бычку-гидроплану, укравшему легкомысленную девушку Европу, и оная, оная, оная не удержалась на ногах, а перешла на четвереньки и так на четвереньках и въехала в этот пресловутый кокпит.

Семен, неутомимый штурвальный, юмористически на нее посмотрел и сделал приветик ладошкой от уха в сторону. Глика забралась на колени своего самого любимого летчика. «Ну где же твоя хваленая Абхазия наконец?»

«Натаныч, ты не можешь объяснить барышне? – спросил адмирал своего пилота. – Я, признаться, за эту ночь потерял все координаты».

Все трое прыснули. Семен Натанович вынул трубочку изо рта, вытер тыльной стороной рукавицы свои бывалые, «соль-с-перцем» усы, после чего концом трубочки стал показывать ближние координаты. «Вот, видите, барышня, скопление огоньков? А в двух кабельтовых от них, на мысе, работает мигалка. Это, собственно говоря, береговая линия. Сейчас заходим на посадку».

Небо уже потеряло свою ночную однотонность. За горбом самолета явно назревал рассвет. Через несколько минут, когда они уже основательно снизились, стала отчетливо видна чеканка пустынного моря. Еще через несколько минут солнечные лучи осветили движение близких волн, но они уже шли в густой тени, которую отбрасывал высокий обрывистый берег. Именно там, в прибрежной тени, нашлась небольшая круглая бухточка, на которой они и приводнились. Натаныч

и Эммануилыч вылезли на крыло. Какой-то заспанный абхазец бросил им конец. Втроем, один заспанный и двое невыспавшихся, подтянули гидроплан к дощатому пирсу. По всей вероятности, ночных путешественников здесь ждали. Подошли, протирая глаза, еще два абхазца. Они начали выгружать какие-то увесистые ящики. Большой открытый автомобиль медленно съезжал к бухточке по серпантиновой дороге.

Дом, в котором они остановились, удивил Глику своими размерами и комфортом. Даже двухэтажная квартира в Яузской высотке блекла перед абхазским, явно секретным, эксклюзивом. Особняк, построенный в смешанном стиле – Восток и дореволюционный модерн, – зиждился над обрывом к морю. Стены его были облицованы отполированными каменными плитами, а внутри украшены резными панелями из темного дуба и немалым числом масляной живописи, в основном, морскими и горными пейзажами. В огромной нижней гостиной присутствовал даже удивительный зрительный эффект. В трех широких и высоких окнах беспрерывно катил белоснежный морской прибой, и точно такой же прибой неподвижно катил с картин в оконных проемах. Возникало некоторое подобие неспокойного сновидения.

Глика бродила одна по пустынному залу. Каблуки парижских туфелек постукивали по отменному паркету. Вдруг увидела себя целиком в зеркале на внутренней стене. Прекрасная счастливая девушка во всем парижском. Внезапно, впервые за все время после встречи с Моккинакки в ЦПКиО, она почувствовала мгновенный болезненный укол: Кирилл! Неужели она предала своего «небесного жениха»? Неужели она предала все то странное существование, что началось в марте, весь тот символизм, все то взаимное обожание, толкование небытия, тревогу за Сталина, образ черного быка в лабиринте? Что ж, если она и предала Кирилла, то лишь потому, что он предал сам себя во время тех безумных, почти уже окончательных утех.

Сверху доносились голоса Семена и Жоржа, они там о чем-то разговаривали с местным персоналом. Глика вышла на террасу, на которой, если не жалеть мячей, можно было бы играть в теннис. Бриз обхватил девушку дружеским свежайшим объятием. Заполоскались и затрепетали юбка, блузка и шарф «Эрмес». Несколько плетеных кресел и столик стояли посредине. На столике окулярами вверх приглашал морской бинокль. Она взяла прибор и стала его наводить на тянущийся к горизонту вогнутый берег. В окуляры вплыло импрессионистическое многоцветное пятно. Прибавив резкости, она увидела чудо-город с высоким белым маяком, с многоэтажным терракотового цвета дворцом версальского стиля, с прибрежными отелями арт-деко.

Охотник на подлодки Жорж Моккинакки вышел на террасу и замер, увидев почти реальную полную воздуха картину: тоненькая девушка в трепещущих под бризом одеждах светлых тонов стоит с биноклем в углу каменного пространства, годного для построения штурмового взвода морпехов в полном комплекте. Несколько минут он стоял, не двигаясь, со скрещенными на груди страшноватыми для любого противника руками. Девочка моя, любимая на всю жизнь, если бы ты знала, что нас ждет впереди!

Почувствовав его присутствие, она посмотрела через плечо. Готов на все за один только такой взгляд через плечо. Без тебя, может быть, и не решился бы на то, на что сейчас, в этот миг, окончательно решаюсь. «Жорж, что за город там высвечивается на берегу?» – весело крикнула она. Он подошел, обнял ее сзади и взял у нее из рук бинокль. «Да это Сухуми, Глики-блики, что же еще?»

«Что-то он слишком хорош для Сухуми!» – засмеялась она.

Вечером они отправились ужинать в этот Сухуми. Проезжали через маленькие чистенькие городки, в центре которых за столиками открытых кафе сидели местные мужчины в плоских черных головных уборах. «Вот это типичные абхазцы, – просвещал Глику Жорж. – Видишь эти большие черные кепки? Их тут называют аэродромами».

«Вижу, вижу, – кивала девушка. – Типичные абхазцы, типичные кепки-аэродромы! – И потом добавляла: – Если только это не береты».

Мелькали вывески каких-то незначительных заведений или учреждений. Глика вдруг встрепенулась. «А что, здесь разве латинский алфавит в обиходе?» Жорж, который теперь сам вел большую открытую машину (очевидно, трофейную, «Испано-Сюизу», или что-то в этом роде), на мгновение отрывал взгляд от извилистой дороги, чтобы поцеловать любимую в левую щечку и сказать: «Должно быть, здесь смешанный, кириллица и латиница. Абхазия ведь у нас на особом режиме». Пытливый взгляд любимой заметил еще одну странность: отсутствие лозунгов. Только

однажды на придорожной площаденке она увидела двух дядек, на этот раз в красных «аэродромах» и с красными пионерскими галстуками на шее; они держали плакаты с надписью на латыни: «Gora B.O.!»

Ресторан, в котором они собирались поужинать, находился в массивном здании с огромными окнами, построенном, очевидно, пару десятилетий назад на самой кромке обширного пляжа. Обстановка здесь значительно отличалась от московского «Поплавка». Вместо разудалого оркестра в углу ненавязчиво импровизировал одинокий пианист, слышались переходящие одна в другую темы Моцарта, Бетховена, Шопена. Публика не выражала ни малейшего поползновения образовать отплясывающую толпу. Да и вообще можно ли было назвать здешних клиентов публикой? Во всем большом зале заняты были не больше пяти столиков, за которыми не более дюжины персон предавались еде с серьезным выражением истинных гурманов. Скользили бесшумные официанты в коротких белых куртках с серебряными погончиками.

«Что-то здесь очень уж изысканно», – с некоторым подозрением промолвила Глика. Жорж улыбнулся: «Такова Абхазия. Ты, конечно, понимаешь, что это заведение не для всех. Спецобслуживание».

С любезнейшей улыбкой на устах к ним направлялся метрдотель, седовласый и загорелый, словно капитан океанской яхты.

«Бон суар, мадмуазель э месье Мокнаки», – сказал он и далее добавил целую добродушно-шутливую фразу по-абхазски, явно предназначенную для создания дружественной атмосферы. К удивлению Глики, Жорж ответил слегка спотыкающейся, но явно понятной фразой, тоже по-абхазски.

Стол для них был уже приготовлен возле открытого окна, за которым, словно по заказу, проходила церемония великолепного морского заката.

«Ква ву вулэ пур аперитив, мадмуазель?» – спросил метрдотель. Два молодых официанта уже стояли за его спиной.

«Ажуте фуа а вотр гу, мсье», – бойко ответила девушка. Все трое представителей обслуживающего персонала просияли. Жорж Моккинакки восхищенно изумился. Вот так запросто, с непринужденной светскостью его любимая переходит на французский! Что же в этом особенного, мой Жорж, для такой девушки, как я, удивилась Глика. Как же я могу не говорить по-французски при такой мамочке, как Ариадна Рюрих, и при таком папочке, как Ксаверий Новотканный? Однако, увы, мой Жорж, можно только сожалеть, что ваша возлюбленная пока еще не обучена по-абхазски.

Далее последовал ужин, совершенно удивительный для советской автономной социалистической республики. Можно было только аплодировать сектору спецснабжения, сумевшему создать в этой спецзоне атмосферу изысканного французского ресторана. Сначала открыли бутылку шампанского «Вдова Клико». Не всякая птица, ей-ей, отведала этой влаги! Затем подали большущее, возвышающееся над столом блюдо устриц, в середине коего возлежал владыка морей, только что сваренный краб. По завершении этих подготовительных действий явилось в сопровождении вина «Сен-Эмильон» главное блюдо, «седло барашка», чье название никоим образом нельзя понимать, как реальное седло, под котором когда-то гарцевал поедаемый барашек. Так бесконечно с мнимой серьезностью шутила в тот вечер Глика, а ее возлюбленный, прилетевший в ее жизнь на гидроплане ее мечты с картины советского слегка чуть-чуть формалиста Дейнеки и в этом же гидроплане на пути в экзотическую Абхазию в стиле, достойном только подражания, лишивший ее надоевшей невинности, только восхищался Гликиным несколько своеобразным юмором.

После главного блюда, перед десертом, они танцевали. Глика попросила пианиста сыграть и спеть целиком новоявленный миру вальс «Домино». Присутствовавшие гурманы мягко аплодировали медленно кружащейся паре. Один из гурманов заметил, что девушка похожа на идеальное земное существо, а ее кавалер… ммм… напоминает каких-то голливудских героев. Другой гурман, по всем признакам абхазский ловелас, заметил, что кавалер похож на Хемфри Богарта в комбинации с Кинг Конгом. Остальные сошлись на том, что ловелас необъективен. Привыкший к быстрым победам, он уже воображает себя владыкой идеального земного существа, а потому пылает ревностью к ее спутнику.

После вальса они вернулись к столу, где их уже ждал десерт. Не будем его описывать, чтобы не завязнуть во взбитых сливках и не утонуть в сиропах.

«Ты довольна этим абхазским вечером, моя родная?» – спросил он.

«Слушай, Жорка, я просто в отпаде, – ответила она чуть-чуть слегка чрезмерно по-студенчески. – Я просто на грани реальности и великолепного настроения! – И, войдя во вкус, забыв про свой статус в комсомоле и про благородное происхождение, продолжила в той же манере: – Сам посуди, Жорж, какой еще девочке так подфартит: потерять целку на высоте пять тысяч метров, заполучить такого чувака, как ты, да к тому же еще прилететь в эту так называемую Абхазию!»

Контр-адмирал Моккинакки был слегка несколько шокирован подобным стилем излияния чистейших чувств. «Ласточка моя, не могла бы ты чуть-чуть понизить громкость своих жаргонных всплесков? Ведь здесь могут быть люди высокого партактива, а также флагманы нашей промышленности. Не говоря уже о высокопоставленных абхазцах, да, не говоря уже о них».

«Аллах с ними, мой адмирал! Ах-ах, мой адмирал, я сегодня в таком легкомысленном настроении! Надеюсь, вы простите это баловство обесчещенной вами, то есть, я хотела сказать, осчастливленной вами девушке».

«Радость моя, позволишь ли ты полярнику зари социализма и пирату Второй мировой войны сделать тебе предложение руки и сердца?»

Глика попросила у официанта сигару. Тот мгновенно слетал и церемонно поднес «гавану» на серебряном подносе. Девушка выпустила из пунцовых губ несколько колец дыма и нанизала их на загорелую руку, еще вчера столь ловко сновавшую с байдарочным веслом. «Ваше предложение, Георгий Эммануилович, увы, принято». Он страусоподобным движением повернул недоумевающую голову. «Разве это совместимо, „принято“ и „увы“?

Она устроила своей сигарой настоящую дымовую завесу и, только вынырнув из дыма, прояснила ситуацию:

«Принято, потому что я вас люблю, а увы – потому, что любовью разрушаю свои былые жизненные планы».

Они церемонно поцеловались. Ловелас, не отрывавший от них глаз, подумал, что хорошо было бы проверить год рождения девицы, а в случае нарушения кодекса указать «арабу», как он в уме постоянно называл смесь Богарта и Конга, на дверь.

«Хорошо бы узнать, какие жизненные планы я столь бесцеремонно нарушил», – поинтересовался адмирал.

Глика попросила еще «двойной коньяк», после чего, с коньяком и с сигарой, явно подражая какому-то «трофейному» фильму, начала свой рассказ:

«Ты, возможно, уже знаешь, Жорж, или от моих родителей, или… мм… от соседей, что перед тобой сидит настоящая, то есть преданная и убежденная сталинистка. Наш вождь для меня – это не просто глава правительства, это живой столп всего нашего общества, больше того – всего советского социализма, о котором ты так интересно говорил в наш первый вечер на террасе восемнадцатого этажа. Что касается меня лично, то – верь не верь – я нередко обращаюсь к нему с мольбой: Сталин, солнце мое золотое, согрей одинокую мизантропку! Мысль о его смерти повергала меня – и повергает сейчас – в неукротимый ужас. Недавно на первомайской демонстрации я увидела его среди вождей на трибуне Мавзолея. У меня началась настоящая духовная экзальтация, и вдруг меня пронзила мысль, что в этой гигантской толпе находится какой-то человек, который смотрит на Сталина как на мишень!»

В этом месте рассказа лежащие на столе руки Жоржа сжались в каменные кулаки.

«Да, Жорж, я непроизвольно окаменела, но мои кулаки не так сильны, как твои. Конечно, все люди смертны, и Сталин, возможно, не исключение, но я даже отвлеченно не могу себе представить его кончины, как не могу, скажем, вообразить, что он подвержен всем физиологическим отправлениям, как и все смертные. Ты, наверное, знаешь, что есть такие люди, причем такие же истинные сталинисты, как я сама, которые предпочитают не страшиться его смерти. Конечно, он может умереть, говорят они, но после смерти он станет богом, и тогда у нас появится новая религия…»

«Я знаю, о ком ты говоришь, – с кривоватой улыбкой проговорил Жорж. – Это Кирка Смельчаков, не так ли?»

Возникла пауза. Глика отпила коньяку и затянулась сигарой. В этот момент она была совершенно неотразима. Затем продолжила:

«При всех этих раздумьях я выработала для себя первый основной план своей жизни. Если он умрет, я стану жрицей в его храме и буду поклоняться ему всю жизнь, как кносская царица Пасифая поклонялась Посейдону. Я буду пестовать в этом храме свою девственность и распевать посвященные новому богу гимны. Если же он не умрет при моей жизни, а станет долгожителем на манер греческих и библейских героев, что ж, на этот случай я разработала второй основной план своей жизни. Я решила сделать головокружительную журналистскую карьеру и возглавить самое влиятельное на земле сталинистское агентство печати».

«И там, в агентстве-то, тоже пестовать свою девственность?» – с невинным видом вопросил Жорж.

Она надменно на него посмотрела. «Ну разумеется! Буду там сидеть в кабинете, как Пасифая сидела на троне».

«Между прочим, Пасифая была порядочной гетерой. Совокуплялась с чудовищами», – печально вздохнул Жорж.

«Проклятое чудовище! – вскричало дитя. – Как мне нравятся твои торчащие уши! – и схватила своего нового, уже земного жениха за упомянутые органы. – Как мне нравится все, что из тебя торчит. Уши, нос…» – и еще что-то прошептала в одно из ух.

К этому времени летний закат над морским горизонтом погас окончательно и установилась полная, хоть и короткая, ночь. Приближалось уже к одиннадцати, то есть, по-авиационному, к 23 часам, когда влюбленные заметили, что в чинном ресторанном зале происходит какое-то движение, которое, казалось, может привести к революционным, то есть катастрофическим, изменениям в повестке ночи. Вдруг оказалось, что все столики заняты довольно возбужденными людьми. Происходили вроде бы даже некоторые перебранки по поводу столиков. Между тем в глубине зала открылись большие двери, из которых стали выходить оживленно друг с другом дискутирующие абхазцы, многие из них в вечерних смокингах, а иные женщины, невзирая на исламский кодекс, декольте. За дверями были видны глубоко уходящие анфилады открытых помещений с круглыми столами, покрытыми зеленым сукном, и с рулетками. «Ничего себе, братская социалистическая республика! Ничего себе сектор спецобслуживания! – вскричала прекрасная сталинистка. – Да тут, оказывается, вовсю кипят азартные игры!» Жорж, как бы очнувшийся от сладостного сна, беспокойно оглядывался. Вдалеке у стойки бара он видел надежную фигуру Семена, который вроде показывал ему, что пора уходить. Жорж позвал метрдотеля, вынул пачку каких-то удивительных, специальных, как он объяснил, сертификатов, похожих на великолепно хрустящие иностранные деньги. Глика трепетала от ожидания: чем же кончится вся эта Абхазия, что гудит вокруг неумолчным французским гулом, иной раз и с дерзкими выкриками?

Кончилось это, увы, странным и печальным, хоть не столь уже редким, дважды, увы, событием. В толпе, скопившейся возле бара, Глика заметила впечатляющую молодую пару. Он, высоченный, ростом не ниже Жоржа, очень бледный, в черном с шелковыми лацканами пиджаке, мелькая длинными пальцами, пытался возбужденно что-то объяснить ей, тоже бледной, в удивительном туалете, похожем скорее не на платье, а на «комбинацию», но с длинным хвостом. Вдруг она махнула перед его лицом, как будто хотела нанести оскорбительный удар тыльной стороной ладони. Он секунду смотрел на нее, лишь губы его отвратительно шевелились. Все это из-за шума выглядело, как немое кино. Потом он отшвырнул ее прочь, резко двумя ладонями пригладил волосы назад и устремился к выходу на набережную. Пересек променаду, спрыгнул на широкий, подсвеченный фонарями пляж. Замелькал своими длинными ногами и руками на фоне белого наката волн. Она бежала за ним, то настигая, то отставая, крича: «Серж, па буже! Же тю суплие! Же тюз эм! Атанде!» Застряла тонкими каблуками в песке, упала на колени. Он не оборачивался. Их догоняли какие-то фигуры из казино. Серж вдруг упал, распростерся, лишь ноги дергались. В шуме прибоя и голосов выстрела не было слышно. Глика порывалась бежать к упавшему, почему-то ей казалось, что она может ему помочь одним-единственным словом, однако Жорж крепко удерживал ее за плечи. Серж и Жорж – странное созвучие для всей этой абхазской ночи.

Вокруг царила паника. Толпясь и разлетаясь, пробегали мимо всевозможные люди. Вдруг промелькнула русская фраза: «Он сам виноват!» Взвывала, приближаясь, какая-то сирена. Глике

вспомнилась московская осень 1941 года. Ей было восемь с чем-то лет. Они с Ксаверием и Ариадной бежали в толпе к метро. Взвывало множество сирен. Теперь к ним с Жоржем довольно спокойной походкой подошел Семен Натанович. «Нужно немедленно уезжать, а то попадем в переплет», – сказал он. Правую руку он держал в кармане пиджака.

Обратно ехали втроем под полной луной по почти пустынной дороге. Маленькие городки спали. Под редкими фонарями проплывали тамариски, над корявыми их стволами колыхалась нежная хвоя. В свете фар приблизился дорожный столб с надписью «Бордо 182 км».

«Бордо – это тоже Абхазия?» – спросила Глика.

«Ну, конечно, Абхазия, – ответил Жорж. – Спроси у Семена, если мне не веришь».

Она повернулась к заднему дивану, на котором в свободной позе, с трубочкой и плоским лилипутиком коньяку сидел ласково улыбающийся ей, надежный, как гидроплан, Семен. «Конечно, Абхазия, Гликочка, что же еще». У него в Питере была дочка, ровесница Глики, славная девушка, хотя внешним обликом и физическими данными на порядок ниже избранницы шефа. Семен, человек здравого смысла, конечно, желал счастья этим двум сумасшедшим, хотя не исключал на будущее и некоторого поворота в свою пользу. Вот, допустим, через некоторое время происходит между этими двумя разрыв. Глика в слезах приходит к Семену узнать, где обретается Жорж. Он утешает ее, утешает, утешает, и она от некоторой злости к Жоржу утешается, утешается, утешается. Что же делать, если приходится иногда помогать даже подобным красавицам в преодолении психологических неприятностей.

Через час они вылетели в обратный путь. Семен в одиночестве сидел за штурвалом и добродушно ухмылялся, улавливая, что в знакомом и любимом до последнего винтика аппарате появилась какая-то дополнительная вибрация. Прошел еще час, прежде чем шеф вернулся в кокпит. Начиналась Германия с ее частой сменой зон и границ. Приближался лагерь мира и социализма. Нужно было в соответствующих местах сбрасывать соответствующие количества алюминиевой фольги для пресечения действия радаров. Еще через четыре часа они благополучно приводнились на пруду в Быкове.

Утром 17 июля адмирал Моккинакки на своем трофейном автомобиле подвез невесту к подножию Яузского великана.

«Я тебя высажу здесь, моя родная, а сам поеду на летучку в Минобороны. – Он усмехнулся. – Видишь, как все вокруг привержены к летучести».

Глика выпрыгнула из машины и задрала голову на вздымающиеся перед ней стены. «Странное ощущение, Жорж: я смотрю на наш дом, как будто год его не видела. Подумай только, мы потратили на наше путешествие в далекую Абхазию всего лишь тридцать шесть часов, а кажется, что все тридцать шесть дней. Странный феномен, правда? Я уже слышала от… ну от людей, которые часто путешествуют, что время невероятно растягивается, когда перемещаешься в пространстве. Ты, конечно, и сам прекрасно это знаешь, не так ли?»

Не вылезая из-за руля, он легонько подтянул ее поближе к себе и поцеловал в самую близкую на этот момент часть ее тела, то есть в локоть. «Ты, надеюсь, понимаешь, киска моя, что об этом полете не надо никому рассказывать, особенно твоим близким. И о наших отношениях, родная, пока не стоит распространяться. Мне хотелось бы самому поговорить с твоими родителями, идет?»

Она отошла на шаг от машины. «Что же мне сказать родителям? Где я была?» Жорж почувствовал ее огорчение и с некоторой нарочитостью заулыбался всеми крупными складками своего лица. «Ну скажи, что после победы ваших байдарок воцарился такой сугубо студенческий энтузиазм, и все ребята, подхваченные этим порывом, решили куда-нибудь, как вы говорите, „смотаться“, ну, скажем, в Ленинград на белые ночи, а там, дескать, вдоль Невы бродили, пели „Глобус крутится-вертится, словно шар голубой“, ну а потом все погрузились в какой-нибудь медленный поезд, „пятьсот-веселый“, и там все пели-пели, и все тридцать шесть пролетели, как один час. Вот тебе и другой вариант феномена времени. Годится?»

Он все уже продумал, с грустью поняла она и сделала еще один шаг в сторону. Страсть и риск, головокружительное веселье, таинственная Абхазия, где все говорят по-французски, – все это отодвинулось на два шага в сторону под тяжестью каких-то дурацких практических соображений. Все-таки жаль, что я не родилась в революционные годы. В те времена такой мужик, как Жорж, стал бы командармом первого ранга, а я скакала бы рядом с ним с севера на юг, трясла бы

богатых, поощряла б бедных. Увы, в наши дни он озабочен практическими соображениями, как какой-нибудь юрисконсульт.

«Ну пока!» – крикнула она и побежала прочь.

Хитрость тела

В последующие недели и месяцы родители Глики Новотканной, равно как и спецбуфетовцы их семьи, не замечали никаких особенных изменений ни в ее поведении, ни в настроении. Расцвет продолжался. Ариадна Лукиановна задавала себе вопрос: повлияла ли на дочь подброшенная ей крамола, то есть тайно распространявшееся в Москве пособие по женской сексологии с практическими рисунками. От «бесед по душам» Глика теперь уклонялась и, в общем-то, сохраняла какое-то ровно-приподнятое и даже отчасти слегка чуть-чуть победительное состояние души и тела. Тут еще по не совсем понятным причинам усилилось увлечение гребным спортом. Девушка не пропускала ни одной тренировки. Ходили слухи, что идет усиленный отбор среди университетских гребчих в сборную Советского Союза. Будто бы приближались какие-то совершенно невероятные спортивные события, по уровню сравнимые с великолепными сталинскими начинаниями в природе. Никто не мог извлечь из шепотков никакого толку, как вдруг объявили, что огромная сборная СССР по всем видам спорта едет на Олимпийские игры в Хельсинки, чтобы дать «последний и решительный» молодым представителям буржуазии.

Трудно сказать, последний ли готовился бой, однако решительность лилась через край, как горячая сталинская сталь в магнитогорских домнах. Глика однажды примчалась домой с возвышающей вестью: я еду в Хельсинки! Вот вам и «девушка с веслом»! Вот так они и вырастают в олимпийских чемпионок! «Без золота не возвращайся!» – задорно крикнула ей вечно юная маменька, однако тут же прикусила язык, уловив двусмысленность в этой фразе. «В чем дело? В чем дело? – вынырнул из своей постоянной атомной задумчивости папенька Ксаверий Ксаверьевич. – Хельсинки? А что Хельсинки? Присоединились наконец-то?» Вести об Олимпиаде до него пока не дошли, мелькающее то тут, то там словечко «Хельсинки» он относил на счет грядущего присоединения Финляндии к Карелии. Глика дала ему за рассеянность неслабый шелобан.

Сосед Моккинакки Георгий Эммануилович долго качал свою «детку» на коленях, хвалил за успехи в спорте. Мы с Семеном будем следить за твоими стартами с финских трибун, однако приблизиться там к тебе вряд ли удастся: спортивный режим там будет, конечно, поддерживаться с наркомвнуделовской беспрекословностью. Что касается второго соседа по этажу, Смельчакова Кирилла Илларионовича, то он во время чаепития на террасе у Новотканных, как всегда, теперь сохранял байроническое немногословие, однако в честь будущей чемпионки пропел какую-то парафразу к фильму тридцатых годов:

- Идем вперед, задорные подруги!
- Страна дает полет для всех сердец!
- Везде нужны заботливые руки
- И сильный, процветающий бабец!

«Фу, Кирка!» – попеняла ему за это «фо-па» Ариадна Лукиановна, но вообще-то она ему все прощала.

Кирилл никому из окружающих не давал ни малейшего повода предположить, что он страдает. И уж тем более ни малейшего намека на то, что он обижен, если уж мы не употребляем слова «унижен». В тот день юлианского июля, выйдя из кристального потока московской городской реки, отряхивая брызги и слегка напрягая все еще неплохую мускулатуру, окруженный поклонниками, он стал уверенно подниматься по гранитным ступеням, рассчитывая найти Глику там, где она сидела с двумя мальчиками, и вдруг вместо прелести своей несравненной не нашел там никого, кроме подвыпившей компании стиляг. Один из этих типусов, преждевременно отяжелевший юнец с нашейным талисманом из акульего зуба (это был Боб Ров), довольно развязно обратился к нему с познавательным вопросом: «Кирилл Илларионович, вот тут молодежь спорит, от чего происходит слово „утопия“? От „топи“ или от „утки“?» Он присел рядом с ними и спросил у ближайшего к нему юнца, то есть у меня, Така Таковского, который вообще-то

знал происхождение слова, но молчал: «Глику Новотканную случайно не видели?» Что мне оставалось делать, если не сказать правду? «Она ушла с таким высоким фронтовиком, смугловатым таким, то ли адмиралом, то ли юрисконсультом». Он встал, посмотрел на ухмыляющегося Боба Рова и с непонятной четкостью произнес: «Слово „утопия“ происходит от слова „утопленник“, – и ушел. Вслед ему неадекватным хохотом грохнула вся компания. Браво, поэт!

В тот вечер они с Гликой собирались на антиголливудский кукольный спектакль «Под шорох твоих ресниц». Билеты завез ему сам лично главный кукловод Зяма Гердт. Часок посидели со старым другом за оставшейся еще от встречи с Моккинакки бутылкой коллекционного хереса. Кирилл все предвкушал, как Зяма ахнет, когда заявится «Дева Радужных Ворот», но та не заявилась. Пошел к Новотканным. Никого не было, кроме военнослужащих. Нюра, как всегда, темня со своим арзамасским произношением, сказала, что Глика заскакивала, запыхамшись, хватанула каку-тось кучку из гардеробу и убегамши. Он ткнулся к Жоржу – гробовая тишина. На дверях пришпилена записка: «Жду пакет, прошу оставить у соседей». Вдруг его осенило: она ушла из ЦПКиО именно с этим гадом, с Жоржем! Это именно тот, о ком болтали стиляги, адмирал или юрисконсульт. Слово «юрисконсульт» почему-то показалось Кириллу полным подтверждением догадки. Между ними существует какое-то взаимное тяготение. Надо было быть полным кретином, чтобы этого не заметить! Они смотались из Москвы вместе, улетели куда-нибудь в Сочи или в Сухуми. Глика нашла своего мужчину. Именно он отберет у нее или уже отобрал ее девственность. А ты, Смельчаков, оказался полным мудаком со своим идеализмом, со своей пресловутой чувственностью. Нет, недаром мне тогда, после его циничных шуточек, захотелось подержать «старого друга» на мушке.

Он заметался, почему-то впал в какую-то трудно объяснимую панику. Не знал, куда себя девать. Даже о Глике, собственно говоря, не особенно думал, просто дрожал. У него и раньше, в пору любовных передряг, случались такие состояния. Он знал, что врачи называют эти дела «кризисом середины жизни», дисфункцией вегетативной системы, однако никогда раньше кризис не достигал такой крутизны. Лечился коньяком. По ночам выдувал по три бутылки «Греми». Пьяный, пытался записывать какие-то стихи. Получался высокопарный вздор. Утром с отвращением вырывал странички из блокнота. Ему казалось, что они смердят. Вот еще одно напастье – всюду чудились какие-то гнусные запахи. Покупал, например, в «Елисеевском» продукты и не мог их есть. Великолепная ветчина пахла тухлой селедкой. Зернистая икра на свежайшей булке с маслом казалась какой-то отвратной инфекционной дрисней.

Думая о себе и о своем состоянии, он часто употреблял слово «тело», словно оно, это тело, прежде такое ладное и веселое, теперь отделилось от его сути и стало лишь жалкой, дрожащей тварью. Ишь ты, усмехался он, все еще хитрит, пытается выкарабкаться. Ничем иным, как лишь хитростью тела, он мог объяснить нарастающее желание обратиться за помощью к женщинам, которые его когда-то любили. Позвонил однажды «стахановке», матери своего сына, попросил рандеву. Оказалось, что она в конце концов «устроила свою жизнь», расписалась с руководящим работником Дальстроя МВД СССР и вскоре вместе с Ростиславом уезжает в те края, где зарплаты за несколько лет поднимаются на астрономическую высоту. В другой раз, после двух бутылок с переходом на третью, дерзновенно брякнул Эсперанце. Часто вспоминаю тебя, особенно когда играю Боккерини, сказала та своим волнующим голосом. У нее появился партнер, молодой флейтист, удивительный музыкант, они играют дуэты и постоянно импровизируют. Дошло до того, что «тело» потянулось даже к фронтовой подруге Надежде Вересаевой. Муж ее за это время стал профессором Военно-медицинской академии, а она работает вместе с ним в должности доцента. Друг мой, сказала она ему очень задушевным тоном, то, что происходит с тобой, – это результат латентной фронтовой травмы. Я пришлю тебе очень надежное лекарство. И, действительно, прислала с солдатом коробочку таблеток. Открыв коробочку, он обнаружил, что они пахнут мышиным дерьмом. Ну и наконец дошла очередь до незабываемой Кристины Горской. Вдруг столкнулся с принцессой цирка прямо во дворе города-града. Та вышла из-под арки горделиво и благосклонно, фиолетовая накидка струилась за ней; не хватало только полумаски. «В моей жизни, Кирилл, получились магнетические сюрпризы, – сказала она со своим венгеро-словацким акцентом. – Мне предписали титул. Народная артистка, как вам это кажется, ха-ха! Предписали квартиру вот здесь, где мы стоим, в корпусе ВК, не затруднись вообразить!» Он завел свою руку

под накидку, окружил талию. Все так же гибка и отзывчива. Сквозь густую завесу ТЭЖЭ лишь чуть-чуть слегка несет тигриной псиной. «Ты одна?» – спросил он. «Мы вдвоем со Штурманчиком, ну, помнишь Штурмана Эштерхази, он однажды, ха-ха-ха, ха-ха-ха, позаимствовал у тебя прямо с вилки узбекский кебаб». Рука упала. Тело утратило все желания, кроме как засесть в туалет. Оно к тому же сотрясалось от кашля, пока он дрейфовал от артистки Горской прочь.

Однажды вдруг посетила нелепейшая жажда мести и самомести. Надо оставить в «Макарове» три патрона, для двух предателей и одного ничтожества. Вышел на этажную площадку, внимательно осмотрел дверь Моккинакки. Нужно четыре патрона. Первым сбиваю замок, как однажды пришлось сделать в Варшаве. Остальные по порядку: шмальну гада, который к тому же до сих пор не вернул долг сталинских денег, вторым самого себя, ничтожество, третьим ее, зазнобу, небесную невесту, новоявленную бл. То есть наоборот: второй пойдет зазноба, третьим ничтожество. Иначе зазноба никуда не уйдет; надеюсь, это понятно? А может быть, просто ничтожество устранить, оставить тело для издевательств зазнобе и Казанове? Может быть, тогда и их так называемая любовь сама по себе завянет и отвалится? Тело стало впадать в почти неукротимую дрожь. Перестало бриться. Стало прислушиваться к звукам из-за метровой толщины стен, старалось уловить любовные взвизги и спазмы, сродни кошачьим бесчинствам. Все втуне.

Интересно, что за все эти мучительные дни он ни разу не сталкивался ни с Гликой, ни с Жоржем, ни с Ксаверием, ни с Ариадной. Возникало предположение: не вступили ли они все в заговор, чтобы покончить с ним?

И вдруг однажды, выйдя в холл, прямо и натолкнулся на выходящую из лифта ослепительную Глику. Она была в тренировочном костюме сборной.

«Что с вами, Кирилл?» – как бы вскричала.

«С кем это, с нами? – Он как бы осмотрелся. – Здесь больше никого нет».

«Бедный ты мой мальчик, – как бы сказала она как бы тоном своей матушки Ариадны. (Звук „как бы“ употребляется здесь вовсе не для того, чтобы догнать третье тысячелетие, а просто для летнего кваканья.) – Ну хочешь, я зайду к тебе прямо сейчас?»

Теперь уже он почему-то перешел на «вы»: «Извольте, мадмуазель».

Она вошла и тут же зажала нос двумя своими пианопальчиками. Значит, не только он страдает от кризиса обоняния. «Хотя бы окно открыл!» – фыркнула она. Пока он боролся с закупоркой окна, она быстроходно стащила свитер, а потом и штаны, чуть-чуть помедленнее, но все-таки быстро. Вдруг все, что в нем так позорно увяло, воспряло с удивительной мощью. «Презерватив у тебя найдется?» – спросила она. Затребованный предмет, хоть и слегка засохший, нашелся под рукописью в ящике письменного стола. Приступая к коитусу, он с глуповатой педантичностью заметил время. Хорошо бы распространиться в сегменте двадцати двух минут. Как ни странно, именно по завершении данного сегмента он зарычал, а она завизжала. «Фу-фу», – пытался он отдышаться. «Ну и ну», – смеялась она, из-под него вылезая и пружинисто вставая.

«Это как же прикажете понять? Что же, Жоржа в отставку?» – Он старался не отрывать голову от подушки, чтобы не увидеть в углу черного быка.

«С какой это стати? – улыбнулась она. – Просто он все время в полетах, а я ведь собираюсь на Олимпиаду. Тренер говорит всем девчатам, чтобы поддерживали гормональную стабильность».

«Что с тобой, Глика?» – промычал он страдальчески в подушку. Она этого даже не заметила.

«Между прочим, мы скоро с ним поженимся. На свадьбу придешь?»

«Значит, с ним ты не предохраняешься?»

«А вот это уже наш интим».

«Что с тобой происходит, невеста моя небесная?»

Он вылез из постели и прошел в угол. Черный бык уперся ему рогами прямо в тощий живот. Ударил быка сразу двумя руками по загривку и коленом в хрящ. Наваждение исчезло, если не навсегда, то надолго. Обернулся. Незнакомая девка вытирала румяную мордаху каким-то его заскорузлым полотенцем.

«Знаешь, что я тебе скажу, – с некоторой дозой враждебности произнесла она. – Со мной ничего не происходит, кроме ежедневных тренировок на байдарке. Предстоит отстаивать престиж страны, ты это понимаешь?»

Откровения медалистки

Трудно сказать, что отстаивали в Хельсинки две девчонки, обогнавшие в финальном гите Глику Новотканную, престиж своих малых стран или свой собственный азарт, во всяком случае, она получила только бронзу. Тренер ходил, как в воду кверху килем опущенный, боялся, что попрут с должности, а то и в тюрьму упрячут за «подыгрывание спортивным амбициям агрессивного блока НАТО», как вдруг все его стали поздравлять. Слышь, Поцелуйко, воспитанница-то твоя, красоточка-то (шепотком: академика-то дочка), видал, во всех газетах, во всех цветных журналах, слышь, да ее бронза ярче трех золотых блестит! И, впрямь, за Гликой все время волоклась цепочка фотографов. Именно там, в Финляндии, она впервые услышала очень странный, даже шокирующий, однако отчасти слегка и завлекательный термин: «секс-символ».

Известно, что в первые дни Олимпиады советская команда твердо следовала инструкциям быть предельно бдительными, не вступать ни в какие личные контакты во избежание провокаций со стороны американцев и титоистов. Особенно почему-то это распространялось на гребцов. Может быть, боялись, что уплывут черт знает куда на своих суденышках. Как вдруг в одночасье все коренным образом переменилось. Пришла другая инструкция, неизвестно от кого, если не от самого «отца народов»: быть предельно раскованными, вступать в личные контакты, показывать хороший, жизнерадостный характер, затмевающий характеры всяких там тлетворных американцев, а особенно, обратите внимание, товарищи, характеры мрачных титоистов.

В этом свете Глике Новотканной даже разрешили дать несколько интервью западным журналистам. И вот тут-то наша девушка утерла нос этой предвзятой шатии, которая привыкла рисовать советских спортсменов то в виде дремучих медведей, то в виде механических роботов, не заботясь даже о том, что одно другому противоречит: медведь-то прет напролом, а робот марширует по радиосигналам. Оказалось, что бронзовая медалистка, несравненная Глика, не нуждается в переводчиках, поскольку в отличие от малограмотных финнов в совершенстве владеет английским и французским. Среди девушек моей страны я вовсе не являюсь исключением, говорила она, сидя в весьма скромной и в то же время очень волнующей позе под вспышками фотокамер. Огромное большинство студенток МГУ, например, владеют иностранными языками. Кто мои родители? Нет, конечно же, это не секрет. Какой тут может быть секрет? Мой папа – преподаватель математики, а мама – библиотекарь. Недавно мы получили квартиру в новом доме. Денег нам хватает, потому что образование и лечение в нашей стране совершенно бесплатны. Что я лечу? Насморк.

Ура, кричат журналисты и аплодируют. Браво, Глика! Какая находчивость! Какое чувство юмора! Она ловит взгляды иностранного мужского племени и находит, что оно не отличается от отечественной кобелятины. Журналисты переговариваются друг с другом. Посмотрите, как она сидит, как упирает подбородок в ладошку. А этот взгляд исподлобья, в нем чувствуется что-то невероятное, как будто она владеет откровениями эроса. Глика, скажи, у тебя есть жених? Да, спокойно отвечает она, у меня есть два жениха. Новый взрыв восторга. Браво, браво, Глика!

Приближается апофеоз. Глика, скажи, что ты больше всего любишь: своих родителей, свою новую квартиру, своих женихов, что-нибудь еще? Руководство делегацией показывает ей на часы. Пора закругляться! Она встает, то есть дает еще одну возможность полюбоваться очертаниями своей фигуры. Больше всего на свете я люблю нашего вождя Иосифа Сталина! В зале пресс-конференций начинается дикий грохот. Развал стульев. Журналисты дубасят друг друга по спинам, подбрасывают шляпы, сморкаются в свои и чужие платки. Общее мнение сводится к заголовку: «Очарование 19-летней гребчихи Глики Новотканной выводит Советы вперед!»

Примечание ЮПИ: «Советам все-таки пришлось потесниться в драматической борьбе с югославами за золотые медали по футболу. Первый матч гайдуки выигрывали со счетом 3:0, однако красный командир Всев Бобров, включив весь свой идейный пыл, умудрился за 10 минут до конца сравнять счет. В повторном матче гайдуки все-таки одолели красных командиров; 3:1. Тито получает золотые медали.

И все-таки главным впечатлением северной Олимпиады остается дочь московского учителя Глика Новотканная. Хью Хефнер, почему ты ее упустил?»

В поезде на Москву она подолгу стояла в коридоре, невидящим взором глядя на мелькающие более чем скромные пажити своей необозримой отчизны. Отнюдь не головокружительные успехи

в тихом (или в тихих?) Хельсинки (Хельсинках?), приправленные легкой горечью бронзы, занимали ее ум. Она думала о вроде бы простых, как бы банальных, а на самом деле слегка чуть-чуть мучительных обстоятельствах своей личной жизни. Став женщиной, она теперь поняла, какие обязательства налагают на женскую персону такие, казалось бы, легкие, пожалуй, даже сладостные, подобные пчелиному сбору меда, перемещения из одной постели в другую; пусть их даже всего две.

Давайте посмотрим, как относятся ко мне эти два недюжинные мужчины современности. Начнем с Георгия Эммануиловича Моккинакки, героя полярной эпопеи многомоторника «Коминтерн», героя войны, выполнявшего таинственные воздушные операции, и тэ дэ и тэ пэ. Он разбудил во мне женщину, да так основательно, что я, признаться, еле сдерживаю возникающие постоянно и весьма часто в неподобающих обстоятельствах женские порывы. Конечно, он любит меня и любит в таком ключе, о котором я, помнится, мечтала в одинокие ночи девичества. Мне виделся мужской идеал, в котором я жаждала найти как могучее охраняющее отцовство, так и всепоглощающее любовничество, если есть в нашем великом, могучем, правдивом и свободном такое слово. В самом деле, мне как растущему стебельку Новотканных не хватало той дозы отцовства, что я получала от своего любимого, столь преданного моей маме (но не мне) медведоватого папочки, вечно поглощенного своими секретными научными проблемами, а также всем известной страстью к Ариадне. Жорж увеличил эту дозу до гомерических размеров. В его волосатых лапах я чувствую себя маленькой девочкой, как развращаемой, так и опекаемой, а в общем, нежно любимой. Со мной он позабыл всех своих пятерых бывших жен и бесчисленное число «эротических объектов», как он выражается. Разбросанное на обширных территориях (в силу его профессии) потомство не удовлетворяет его отеческих инстинктов. Со мной он мечтает зачать новый всепоглощающий выводок. Он мечтает, наконец, стать моим неразлучным мужем. Он устал от бесконечных вызовов на верха, от экстренных заданий. Со свойственным ему чувством юмора он иногда шепчет мне на ушко, что счастлив был бы уединиться со мной в какой-нибудь заморской Абхазии. Я люблю в нем все и даже то, что могло бы вызвать в какой-нибудь чистюле чуть-чуть слегка несколько брезгливое отталкиванье. Однако могу ли я ради него окончательно отринуть от себя такую парящую, хоть временами и беспомощно падающую, но все-таки взмывающую натуру, как Кирилл Смельчаков? Бубнящий вечно свои рифмы, бредущий вечно по сферам памяти и воображения, будь это минные поля в Крыму или тропа Тезея на Крите, сколько раз он своими стихами заставлял меня забиваться в угол и слушать, слушать его монотонный речитатив, сопровождаемый иногда бессвязным мычанием, иногда выкриком чеканных слов. Не знаю, кем я тогда была для него, просто красивой девчонкой или всепоглощенным участником творческого процесса. Как я могу полностью отторгнуть такую личность?

Как я могу вышвырнуть на помойку те наши, совсем еще недалекие, символистские воспарения, нашу «небесную помолвку», столь возвышающие разговоры об апокалиптических нотах у Блока, об инкарнациях Святой Софии, что позволяло мне иногда с трепетом предполагать, что он видит во мне ее очередное явление, как я могу наплевать на наш культ метафизического сталинизма, на все это всепоглощение?

Послушай, бронзовая медалистка, обращалась она в несколько чудаковатой манере к самой себе, не кажется ли тебе странным, что ты в своем внутреннем монологе слишком часто обращаешься к производным от глагола «поглощать»? А, впрочем, что же тут странного? Чем же еще занимается в постели женщина, если не поглощением? Что же еще совершила я тогда с Кириллом, тогда во время нашего первого, еще до Жоржа, хоть и неполноценного интима, когда я поглотила, или проще – проглотила часть его сути? Что же еще витало надо мной тогда, в отсутствие Жоржа, все те двадцать две минуты сильных движений, когда я так жаждала поглощения Кирилловой сути своим нижним ртом? Чего же еще жаждет Жорж, когда без конца играет со мной, если не все нового и нового поглощения?

Ну хорошо, завершала она свои железнодорожные раздумья, неужели наличие двух женихов обязательно приводит к схватке двух самцов из-за одной жалко трепещущей самочки? Неужели мы, люди середины XX века, не сможем найти гармоничный компромисс? Неужели мы не сможем уподобиться «трудовым пчелам» Александры Коллонтай или идеальному тройственному союзу Маяковского, Брика и Лили Каган?

Ее возвращение шумно отмечалось всеми «трудовыми пчелами» 18-го этажа. Нюра играла на гармошке. Фаддей плясал вприсядку. Ксаверий Ксаверьевич между портретами Эйнштейна и Берии прикнопливал олимпийский плакат с радостным образом его дочери. Присутствовали оба жениха, хотя и поглядывали друг на друга слегка чуть-чуть по-волчьи. Ариадна прошептала в нежное ушко Глики: «Я вижу, тебе помогла та книжонка, на которую я натолкнулась среди нэповского хлама».

«Ах, мамочка, – вздохнула девушка, – ведь я пока что всего лишь бронзовая медалистка».

Бабье лето

Кирилл Илларионович Смельчаков переживал очередное возрождение. Пришло оно к нему в погожий сентябрьский день, когда он бедовал на скамеечке в окрестностях заколоченной церкви Живоначальной Троицы. Никогда уж теперь, о Господи, не испытать мне счастия в любви, думал он. Вдруг заметил прибытие какой-то бригады мужиков, которые стали расколачивать боковой вход в храм. Отодрали доски, раскачали заколдобившие, почитай, за четверть века двери. Перекрестившись, стали выкатывать на волю старые бочки. Оказалось, что в храме-то было не что иное, как склад затоваренной бочкотары. И вдруг пришла в голову нестандартная, то есть в том смысле, что не очень советская мысль. А кто сказал, что человек рождается для счастья? Быть может, он рождается как раз для горя? Вот всем нашим детям вдалбливают в головы посредством речевой и наглядной агитации основательную в ее оптимизме цитату, и даже мой сын Ростислав частенько ее повторяет: «Человек рожден для счастья, как птица для полета!» А ведь с тем же успехом можно сказать, что человек рожден для горя, как птица для полета. Кто сказал, что с горем не поднимешься так высоко, как со счастьем? Быть может, именно в перемежении горя и счастья и заключается полет человека? Счастье подбрасывает толчком, горе держит тебя в своем постоянном потоке. Подумав так, он почувствовал удивительную бодрость и пришел к итогу данного мыслительного процесса: жив! Мужики вкатили полдюжины бочек в старенький «газик» и стали заново заколачивать боковой вход.

Интересно, что окружающие люди как будто заметили происшедшую с ним перемену. Во дни уныния он чувствовал себя почти забытым, если не считать редких и весьма деловых визитов Глики, когда Жорж где-то странствовал по своим воздушным и водяным океанам. Глика, собственно говоря, оказалась первой из тех, что стали вновь наведываться. Раз она пришла и стала рассуждать о том, что такое декадентская литература. Декаданс – это упадок, не правда ли, Кирилл? Упадок, угасание, распад художественных качеств, верно? И вот мы гвоздим декаданс, а он между тем был ярчайшим временем нашей литературы, временем новизны и вдохновения, согласен? А что мы сейчас видим в нашем текущем литературном процессе? Вот как раз полнейший упадок, скуку, бесконечную нудную жвачку… Это, конечно, между нами. Ну подожди, Кирилл, ну я же не для этого сегодня пришла… ну пожалуйста, если хочешь… фу, черт, ты прямо ненасытный какой-то стал… ей-ей, твоему аппетиту даже молодежь может позавидовать…

Не прошло и дня, как сама Ариадна пожаловала, очевидно, сразу после заседания Комитета советских женщин, о чем можно было судить по ее туалету. Было известно, что на все заседания своих комитетов она ходит в разном. В принципе всегда это были строгие, но в талию костюмчики, однако цвет подбирался, как она поясняла с улыбкой, «специфический»: для КСП ярко-черный, для КЗМ акварельно-синий, ну а для КСЖ почему-то оливковый.[4] Соответственно подбирались и прически: гладкая с пучком на затылке, высокая с наложенной косой и третья, падающая на правый глаз, то есть слегка легкомысленная.

Кирилл был доволен, что она пришла в тот момент, когда он после трех часов работы за письменным столом начал заниматься с эспандером и с гирями. Он как раз и открыл на звонок, держа в левой руке полпудовую гирю. Ариадна, однако, даже не обратила внимания ни на снаряды физического возрождения, ни на вздувшиеся мускулы. Прошла в гостиную и уселась в глубокое кресло, открыв совершенно не изменившиеся с их студенческих лет колени.

«Знаешь, Кирилл, мне нужно поговорить с тобой на важную тему. Вчера вечером к нам пришел Жорж…»

Вчера вечером, тут же прикинул Кирилл. Значит, он был еще здесь, когда Глика забежала ко мне поговорить о декадансе. Настроение его стремительно подскочило.

«Должна тебе признаться, этот твой друг мне не очень-то нравится, – продолжила она. – Эти его вечно влажные губищи, этот носище, который он, кажется, у этого одолжил, ну у долбоноса – есть такая птица „долбонос“?»

«Такой птицы нет», – с удивительной точностью, с объективизмом и великодушием ответил поэт.

«Ну неважно! – отмахнулась она. И тут еще что-то припомнила не в пользу Жоржа. – И вообще эти его вечные причмокивания, как будто все время очищает себе полость рта… Ну, словом, человек все-таки не нашего круга. Согласен?»

«Так в чем дело, Адночка?» – с некоторой суровостью, но внутренне ликуя, спросил он.

«Дело в том, что он просил руки Глики, – с истинным драматизмом произнесла она. – Ты представляешь, Моккинакки просит руки Новотканной! Нет-нет, ты не думай, что я как-то принижаю его происхождение по сравнению с нашим. Ведь все мы люди социализма, пролетарской диктатуры. Я просто хочу сказать, что он ведь все-таки наш с тобой ровесник, а Глика – дитя!»

«Глика уже не совсем дитя», – вздохнул Кирилл.

«Я знаю, что она не совсем дитя! – вскричала Ариадна. – И все-таки я как-то шокирована ее выбором!»

«Она присутствовала?» – поинтересовался Кирилл.

«Ну, конечно, присутствовала, ведь мы же современные люди. Сидела на своем любимом месте, то есть на подоконнике, смотрела с каким-то отрешенным видом в окно. Ксавка был совершенно потрясен выступлением Жоржа – вот что страшно, Кирилл. Он как-то весь вздыбился по-медвежьи, подошел к тому и стал давить на его плечо. Позднее он мне признался, что полагал Глику еще несовершеннолетней, что-то вроде пятнадцати – шестнадцати лет, и был потрясен, что вот такой мужичище, такой вот Жорж с авиаматки, хочет его крошку забрать».

«Надеюсь, обошлось без мордобоя?» – по-светски осведомился Кирилл.

«Ах, было очень близко к этому! Он так давил и давил сидящему соискателю на плечо и молчал. И я тоже не проронила ни слова, а Глика стукала пяткой по подоконнику. Вообрази себе эту мизансцену, ну сущий Малый театр из мещанской жизни! Потом Моккинакки стал пытаться встать со стула, а Ксавка ему не давал, и так они довольно долго противоборствовали, чуть ли не в полную мощность. Потом тот все-таки встал. Ксавка, если судить по его взглядам, был готов убить адмирала».

«Мне знакомы эти взгляды Ксаверия», – с неподражаемым беспристрастием заметил Кирилл.

«Все разошлись в полной нелепости! – чуть ли не с отчаянием воскликнула Ариадна. – Глика ушла вместе с Моккинакки. Я так и не поняла, любит ли она его, хочет ли за него замуж или сохраняет верность тебе».

«Верность мне?! – Потрясенный, он вскочил и забегал по комнате, как своего рода Ильич перед штурмом дворца. – Ты понимаешь, что ты говоришь, Адночка? О какой верности мне может идти речь? Я ей никто!»

«Если это действительно так, я буду очень удручена, Кирилл, – в очень драматическом ключе, но только не Малого, а МХАТа, произнесла Ариадна. – Что же, это небесное жениховство было просто детской игрой? А ведь мне казалось, что за ним стояло многое, что ты с нитью Ариадны выбирался из лабиринта, что вы оба…»

«Позволь, Адночка, но я ведь тоже стар для нее, мы с Жоржем одного года».

4

К С П – Комитет по Сталинским премиям, К З М – Комитет защиты мира, К С Ж – Комитет советских женщин.

«Ты поэт! – с жаром возразила она. – Ты вечный юноша, мой друг! Ты рыцарь этой идиотки! Ты не должен бросать нас в отчаянии, в душевной неразберихе. Я не знаю, что делать. Я не знаю, ЧТО делать! Не покидай нас! Я готова была бы встать перед тобой на колени, если бы не знала, чем это может кончиться. Ведь я все помню, мой друг!»

Вот уж действительно выдалось бабье лето, думал Кирилл. Должно быть, почувствовали мое возрождение все мои «звезды-надежды». Звонит доцент Вересаева, с теплотой невероятной осведомляется, как подействовали таблетки. «Стахановка» в своем цветущем Магадане мечтает об отпуске на «материке». Приедет вдвоем с Ростиславом. Мальчику нужно общаться с отцом. Народная артистка Горская приглашает на свой бенефис. Тигры нашего выводка, Кирилльчик, перфектно обчеловечились. Эсперанца просто скучает: Гага весь в воздухе, флейтист, увы, весь в водке. Даже та, из «Дневников моего друга», Надюша, жаждет совместного творчества.
Но главная баба – это все-таки Москва-Ква-Ква. Стоит, развесив цветные юбки. Красит гриву свою на Ленгорах, рыжеет, лиловеет, законьячивается. Вдруг среди теплых еще струй ниткой невидимого серебра проносится нордическое воспоминание.

- Главная баба – это Москва.
- Пьяные нянчит глюки.
- Помнишь индейское слово «скво»? —
- Спросит шальная Глика.

Чувство друга

Неожиданные визиты к Кириллу Смельчакову продолжались. Вдруг без звонка явился молодой человек с офицерской выправкой. И с маленькими усиками, как его собственные. «Разрешите представиться, товарищ Смельчаков? Майор Чаапаев из личной охраны товарища Сталина. Иосиф Виссарионович приглашает вас пообедать, если, конечно, вы располагаете свободным временем».

Приближение к Сталину всегда вызывает какую-то подлейшую мобилизацию организма, словно внезапная команда «В ружье!». Трудно сохранить внешнюю невозмутимость. Ускорился пульс, короткий перехват дыхания. Неужели вождь не понимает, что упоминание «свободного времени» похоже на некоторое тигриное издевательство? Или, может быть, приближение Минотавра?

«С огромным удовольствием, – невозмутимо проговорил он. – Когда намечается этот обед?»

«В пятнадцать часов десять минут», – сказал майор Чаапаев и посмотрел на часы, такие же, как у Смельчакова, «командирские». – У нас есть еще час, чтобы вовремя добраться до объекта. Мы ждем вас внизу, товарищ Смельчаков». И он козырнул без козырька, то есть приложил вытянутую ладонь к непокрытой, как бы штатской голове. И тут же симпатично улыбнулся с некоторой виноватостью: вы, мол, понимаете, условный рефлекс.

Дежурный персонал высотного дома стоял вдоль стен, бледный, как гипсовые статуи. Только комендант нашел в себе силы указать подбородком на дубовые кафедральные двери главного входа. Там фигурировали два кремлевских мотоциклиста в танковых шлемах с продольными амортизаторами вдоль головы. Двери открылись перед Смельчаковым. У главного подъезда стоял заказной бронированный «Бьюик» из сталинского гаража. Майор Чаапаев приглашал на задний диван. Сам поместился напротив, на откидном сиденье.

Пока ехали по «подготовленному», то есть почти пустынному, шоссе и вели разговор на ничего не значащие темы, ну, скажем, о том, как «хорошеет» Москва, Смельчаков стал замечать со стороны майора какие-то внезапные взглядики, исполненные чуть ли не сокровенного обожания. Тут его осенило: майор-то, по всей очевидности, как раз и принадлежит к «сверхподкожному» подразделению смельчаковцев, о котором батоно Иосиф как-то ему говорил во время телефонного выпивания. Он оказался прав. За обедом Сталин со значением показал пальцем на прогуливающегося по террасе молодого человека и произнес: «Наш парень».

«Этот Чапаев, он что же, потомок легендарного комдива?» – спросил Смельчаков.

«Он не Чапаев, а Чаапаев, – хмыкнул вождь. – Дворянин, а не плебей. Только на бывших врагов и можно положиться. – Он посмотрел налево и направо через плечо, понизил голос: – Таковы смельчаковцы, Кирилл. Таков и ты сам».

Кириллу и самому показалось, что от молодого майора веет уверенной надежностью и что в отличие от постоянного сталинского окружения отнюдь не страх угрюмый движет его руки-ноги, а некий моторчик исторического отбора.

«Объектом» оказалась Ближняя дача в Кунцеве. Сталин к их приезду прогуливался в парке. Шел навстречу по аллее, под могучими дубами, нес свою нездоровую ручку. Смельчакова в который уже раз поразила некоторая ничтожность его фигуры, очень малый рост, понурые плечики, заскорузлый в некоторых местах френчик. Взгляд стал каким-то отвлеченным по сравнению с прошлогодним глубоко проникающим, который он с явным удовольствием демонстрировал на заседании КСП, где Смельчаков был вместе с Фадеевым. Впрочем, вождь и сейчас не без удовольствия проник в мысли гостя.

«Знаешь, Кирилл, вчера я читал перевод стихов товарища Мао Цзэдуна. Между прочим, рекомендую: весьма самобытный поэт. Так вот что он о себе пишет: „Я всего лишь монах, бредущий по жизни под дырявым зонтиком“. Ты понял меня? Меня терзает артрит. Кто я такой, если отложить в сторону необходимое славословие? Я „профессиональный революционер“, как однажды написала Светланка в школьной анкете, в графе „отец“. А что такое жизнь профессионального революционера, если не шествие под дырявым зонтиком? Как ты думаешь, может быть, дадим Мао Сталинскую премию первой степени?» И зашелся, закудахтался кашлеподобным смехом, или, наоборот, смехоподобным кашлем.

Обедали в небольшом кабинете с выходом на террасу. Смельчаков, разумеется, сразу заметил, что обычная эмгэбэшная охрана в фуражках с голубым верхом оттеснена молодыми людьми чаапаевского типа. Две накрахмаленных спецбуфетчицы подавали еду и наполняли бокалы. Сталин был явно удовлетворен мизансценой. Разговор начался с обстоятельств частной жизни.

«Твоей поездкой, Кирилл, наши соответствующие товарищи вроде бы довольны. А вот как обстоят дела на личном фронте?»

«Что вы имеете в виду, товарищ Сталин?» – спросил Кирилл и вопросительно приостановился, как бы осведомляясь, правильно ли он в данной ситуации обращается к вождю. Разного рода хмельноватые фамильярности вряд ли уместны в присутствии персонала, не так ли, товарищ Сталин? Вождь с пониманием кивнул.

Смельчаков уточнил: «Имеете ли в виду какой-нибудь конкретный эпизод личного фронта, товарищ Сталин?»

Вождь отхлебнул своего разлюбезного «Киндзмараули», протянул через стол суховатую, то есть слегка чуть-чуть похожую на игуану, руку и похлопал ею по гвардейскому плечу семижды лауреата его имени. «А помнишь, мы как-то говорили о „Новой фазе“, Кирилл? Продвигаются ли наши войска в этом направлении?»

Кирилл, признаться, был несколько смущен. Ведь не станешь же посвящать знаменосца борьбы за мир в некоторые ридикюльные частности этого продвижения. Ну, разумеется, хмыкнул, как полагается в мужской беседе, покрутил головой, пробормотал что-то вроде «охо-хо, товарищ Сталин».

Вождь взял с соседнего маленького столика американский журнал «Лук». На огромной обложке этого издания сверкала всеми своими красками еще не названная в разговоре героиня «Новой фазы». Большими буквами в буржуазной манере журнал сообщал: «Глика Новотканная признается, что у нее есть два жениха, но она предпочитает им Иосифа Сталина!» Тот, кого предпочли, то приближал, то отдалял великолепную героиню, похохатывал: «А я не возражаю, нет-нет, готов включиться! Надо только у Политбюро спросить разрешение!» Пытался прочесть надпись по-английски и несколько раз повторил перевод международному деятелю борьбы за мир. Потом отложил журнал и спросил вполне серьезно, щурясь на свой привычный политический манер: «А кто этот второй жених? Откуда взялся?»

Кирилл сначала хотел отделаться шутливым недоумением. Знать, мол, не знаю. Девчонка просто шалила, высмеивала свору буржуазных шакалов пера. Потом решил, что все равно узнают, лучше уж самому сказать. «Речь, очевидно, идет о нашем соседе по восемнадцатому этажу, контр-адмирале Моккинакки. Со стороны Глики, товарищ Сталин, скорее всего, ничего серьезного, просто увлечение юности».

Сталин задумался. Моккинакки, Моккинакки… Звучит почему-то знакомо. Почти как Коккинаки. Кажется, у нас есть такой Герой Советского Союза, летчик, друг Василия. А может быть, и этот Моккинакки тоже герой? Интересный народ эти греки, показывают высокий уровень живучести. Он сделал жест молодцам на террасе. Почти немедленно перед ним возник майор Чаапаев. Сталин вынул из внутреннего кармана своего затрапезного френча толстенную авторучку

«Монблан» с заметной гравировкой «To my comrade-in-arms. W.C», написал на салфетке несколько слов и протянул ее майору. Тот почти мгновенно исчез. После этого Сталин повернулся к сотрапезнику.

«Знаешь, Кирилл, эту девушку следовало бы как следует пожурить. Во-первых, за уклонение от проекта „Новая фаза“, во-вторых, за чрезмерное легкомыслие на важнейшем мировом форуме. Советские спортсмены при всем их дружелюбии должны были демонстрировать в Хельсинки капитальную строгость нравов. Согласен? Между тем Глика Новотканная, как мне кажется, была слегка чуть-чуть увлечена вниманием капиталистической прессы. Этим она подает нехороший пример советским девушкам, известным исключительной цельностью характера. Если бы она не была невестой одного нашего весьма значимого писателя, да к тому же и дочерью одного нашего в высшей степени ценного ученого, в руководстве мог бы возникнуть вопрос о мерах воздействия на эту девушку. Не кажется ли тебе, что я прав?»

Кирилл во время произнесения последнего параграфа все время кивал, показывая, что он полностью разделяет суровое, но все-таки отеческое мнение вождя. По завершении параграфа он тут же начал говорить: «Совершенно согласен с вами, товарищ Сталин, и к этому я хотел бы еще добавить, что в своей студенческой жизни Глика является чрезвычайно серьезной девушкой, сталинской стипендиаткой и членом университетского комитета комсомола. Должен сказать, что она, без всяких преувеличений, боготворит вождя советского народа. Могу также без всякой лести добавить, что образ и мысли товарища Сталина занимают главное место в ее богатой духовной жизни».

«Ну тогда давай выпьем за эту бронзовую медалистку! – размягченным голосом произнес Сталин. – В следующий раз приходи с ней, Кирилл. А теперь обрати внимание на этих цыплят-табака, они приготовлены по настоящему кахетинскому рецепту».

Сталинские трапезы в узком кругу всегда бывали отмечены грузинским колоритом, несмотря на тот очевидный факт, что вождь давным-давно утратил привязанность к закавказской родине да и вообще не был похож на грузина. Вот только кухня, пожалуй, осталась самым теплым и нефальшивым напоминанием о детстве и отрочестве, а в ней особенно отличались цыплята-табака по кахетинскому рецепту. Сталин хрустел этими нежно зажаренными созданиями, не выплевывая костей.

После основных блюд переместились на террасу, в мягкие кресла, к столику с коньяками, фруктами и небольшим количеством аккуратно не переслащенных сластей. Туда же принесли турецкий кофе для Кирилла и жиденький чаек для вождя. Смельчаковцы выдвинулись глубже в парк, оттеснив голубые фуражки аж до пруда, на дальнем берегу которого видны были слегка уже желтоватые от долгого употребления скульптуры.

Выпив «Греми», Сталин попросил трубку. Обе хорошенькие спецбуфетчицы сделали мину некоторого возмущения: дескать, как можно так нарушать медицинские запреты, – однако трубка была доставлена. «Как-то надоели эти врачи, – пробурчал Сталин. – Вообще надоели евреи». Воскурив любимый табачок, он повеселел и сказал Смельчакову, что теперь на хер посылаются все «товарищи Сталины» и остаются только два хмельноватых друга, Кирилл и Коба, два товарища по партии, черт побери. У Кобы, между прочим, есть еще один довольно интимный вопрос к Кириллу. Из-за жуткой, или, так скажем, опупенно жутковатой, занятости он, Коба, отстает от культурных событий. Вот среди заинтересованной публики ходят разговоры о новой поэме Кирилла, а Коба остается не в курсе. Очень было бы по-товарищески почитать «Тезея» Кобе прямо здесь, ну как монах монаху, прикрывшись общим дырявым зонтиком.

Кирилл начал читать фрагмент за фрагментом, то, что слышали уже студенты журфака, и даже сверх еще пару стансов. Коба слушал, как поэт поэта: все-таки, если Мао находит время для стихов, почему Кобе не вспомнить батумские духаны? По прочтении он в знак высокой оценки постучал чубуком по столу. И даже повторил одно четверостишие, неизвестно каким образом не перепутав рифм.

- Но даже если ты от него уйдешь,
- Если прянешь в сторону со щитом,
- Если в шейную жилу вонзишь ему нож,
- Не найти тебе выхода в светлый дом.

Выпили еще по доброй рюмке за Крит, за поступь Тезея. Вот именно, Кирилл, за поступь Тезея. Ты думаешь, Коба не понимает, кто там надвигается, чернее мглы? Пентагон, ты говоришь? Браво, символ на символ, черное на черном, вся мировая реакция перед светлым героем.

Как раз в этот момент подошел Чаапаев, передал вождю отпечатанный на машинке текст и, дружески улыбнувшись Смельчакову, растворился в портьерах. Зрение вождя, очевидно, не нуждалось в коррекции, иначе народам мира пришлось бы привыкать к совершенно невероятному, а может быть, даже немыслимому образу Сталина в очках. Он просмотрел листок и протянул его Смельчакову. Текст гласил:

«Ответ на запрос майора Чаапаева; служба ВК-118, рубрика Ю, № 89003782 ШЧ.

В составе Военно-Морского флота СССР контр-адмирал Моккинакки Г. Э. не числится. По предварительным данным Министерство обороны СССР никакими сведениями о военнослужащем с указанными выше фио не располагает.

Примечание: По предварительным данным архива пилот Главсевморпути Моккинакки Г. Э. в 1940 году находился на зимовке аэроплана «Коминтерн», после чего был зачислен в списки без вести пропавших.

Полученные сведения будут уточняться. Просьба выходить на линию запроса под грифом ССВ-007747Б380АБ».

Кирилл, пока читал, чувствовал, что Сталин не сводит с него острейшего, без всяких очков, взгляда. Прочтя, отложил листок, встретил этот взгляд и развел руками.

«Прости, Иосиф, но тут какая-то мистика. Во-первых, этот адмирал живет у меня, к сожалению, просто под боком. За ним приходят машины из Минобороны, он пользуется гидропланом с опознавательными знаками флота. Мой сосед академик Новотканный не раз встречался с ним на борту авиаматки „Вождь“. Можно, конечно, предположить, что он проходит по ведомству ГХБ, однако…»

Сталин в этом месте прервал соображения поэта. Он не любил слова «однако». Сам его редко употреблял даже в перипетиях войны, а после победы вообще забыл. Какие еще тут у вас слюнявые «однако»? Получили приказ, выполняйте без всяких «однако». Не можете выполнить приказ, признавайтесь сразу, без всяких ссылок на «однако». Вот Николай Вознесенский вечно уевничал со словом «однако», вот и доуевничался до расстрела.

«Хочу тебе, Кирилл, рассказать об одном своем личном свойстве. Это, быть может, самый большой мой секрет. Капиталистические кремленологи до него так и не докопались. Тебе первому откроюсь. Дело в том, что у меня очень сильно развито чувство врага. В жизни и в политике я много раз на него полагался. И никогда не ошибался. Если я чувствую перед собой врага, стараюсь с ним не тянуть. Сразу принимаю меры по его уничтожению. Интересно, что после уничтожения очень скоро выясняется, что он действительно был врагом. Любопытно, правда? С такой же силой я чувствую и друга и никогда не уничтожаю его, даже если есть подозрения. Вот, например, ты, поэт Смельчаков, прочел мне только что яркое антисоветское стихотворение про Тезея. В нем ты изобразил меня самого в виде Минотавра, так? Так или нет? Нет. Очень высоко ценю твое спокойствие. Ты – Тезей. И все-таки ты лучше не спорь: то, что чернее мрака, – это Сталин. И все-таки я никогда не прикажу тебя уничтожить, потому что чувствую в тебе друга. Ты не только поэт, ты еще друг Сталина, так? Ну вот теперь ты можешь смело сказать: „так!“ – Он любовно потрепал поэта по колену. – Вот так-то, так-таковский! Все это я говорю в связи с этим псевдо-адмиралом. В сороковом году, когда полярники с „Коминтерна“ прибыли в Кремль на церемонию награждения, я сразу заподозрил в Моккинакки врага. Он смотрел на меня без всякого чувства. Старается скрыть злобное чувство, а проявить доброе чувство не может. Получается нулевое чувство. Такие взгляды я видел у троцкистов. Потому и отдал распоряжение об уничтожении этого Моккинакки. Ты, может быть, скажешь, что нужны были доказательства? Отвечаю: доказательства были! После уничтожения выяснилось, что он на зимовке подогревал замерзающих людей отрицательной агитацией. Теперь тебе все ясно, Кирилл?»

«Может быть, мы с тобой о разных людях говорим, Иосиф? – спросил Смельчаков с очень, очень теплым чувством. – Тот, кого я помню по „Коминтерну“, был вроде вполне нормальным малым с комсомольской закалкой. Не раз за тебя там поднимали тосты, Коба дорогой. Да и нынешний Моккинакки вроде бы не вызывает сомнений в политическом смысле. И на призрак

уничтоженного не похож, иначе бы не ухаживал за Гликой. Странно только, что в списках личного состава отсутствует. Чудеса какие-то».

Сталин вдруг понял, что ясность в его соображениях не присутствует. Евреи все-таки правы, подумал он, никотин туманит мозги. С силой швырнул трубку на пол. «Значит, перед нами только два варианта. Либо чекисты тогда меня обманули, не выполнили распоряжения, либо в Москве появился какой-то титоист, могущественный самозванец».

Смельчаков промолчал. Мрак действительно становится яснее, думал он, сгущается, чернеет. Сталин рассмеялся с неожиданным добродушием. «Все выясним, дорогой Кирилл, можешь не беспокоиться. Завтра вызову Лаврентия, поручу ему лично заняться этим Лжемоккинакки. Давай забудем об этом вздоре, не будем портить нашей встречи. Ведь тебе скоро предстоит важнейшая командировка. Помнишь, такая песня была: „Служили два друга в нашем полку, пой песню, пой!“ Ну подпевай!».

Смельчаков начал подпевать. Получалось неплохо. В отдалении, у пруда, на аккордеоне подыгрывал славной песне майор Чаапаев. Подключились и две симпатичных спецбуфетчицы, Стеша и Ксюша.

«Речь идет о Бриони?» – спросил после песни Смельчаков.

«Хорошо, что ты помнишь о Бриони, Кирилл. – Сталин очень повеселел после песни и помахал с террасы гуляющему с аккордеоном майору Чаапаеву: играй, мол, играй! – Есть люди, которые забывают, что было сказано под хмельком. Есть такие, что даже надеются на забывчивость других. Ты не таков, Кирилл Смельчаков. – Он посмотрел каким-то специальным взглядом на спецбуфетчиц, и те немедленно отступили за пределы террасы; он ухмыльнулся им вслед: – Хорошие девчонки не всегда шпионки. Там, на Бриони, Кирилл, клика Тито собирается в декабре. Штормовой сезон. Высадиться будет нелегко, но я уверен в смельчаковцах и в тебе, Смельчаков. У тебя есть шанс совершить великий подвиг, стать Тезеем Советского Союза. Ты понял меня? Уберешь другого быка из лабиринта истории. Пока что ты должен познакомиться с группой. Отбирали лучших из лучших».

«Чаапаев в нее входит?» – спросил Кирилл, прислушиваясь к звукам «Лили Марлен», исполнявшейся в весьма приятной ностальгической манере.

«Он твой начштаба, – сказал не без гордости Сталин, как будто молодой человек был исключительной находкой, открытием либо вымирающего, либо принципиально нового типа, вроде лошади Пржевальского. – Род свой считает с первой Отечественной войны. Отец его и при царе сидел, и против наших держался. И сын в него, сменил только одну букву в фамилии. Таков мой Петр».

После всех этих разговоров, всякий раз с ощущением резкой высотобоязни, Смельчаков решил воздержаться от самой острой для него темы. Если бы не встала столь актуально «тема Бриони», а до этого еще и «чувство врага», он бы поведал «другу Иосифу», что в его доме каким-то совершенно непонятным, загадочным образом оказалась гигантская сумма денег в советских вексельных бумагах. Еще более опасным в этой связи было бы не упомянуть «несуществующего» адмирала, который, как потом, конечно, выяснится, просто-напросто унес пачку векселей на миллион. Лучше будет потом, по телефону, попросить «хмельноватого ночного друга» прислать надежных людей и забрать векселя. Перед этим потребовать у Жоржа ту сумму, которую тот обещал вернуть еще месяц назад. Если, конечно, того не арестуют завтра или послезавтра. А вслед за ним, может быть, и меня, если у «друга» ослабнет «чувство друга». Ну и история! Ну и влип! Кем же был тот человек, который оставил мне в ВААПе тот зловещий чемоданчик?

Обед завершился ближе к сумеркам. Сталин собрался к себе в кабинет, но перед этим возжелал прогуляться вокруг пруда. Все участники обеда, включая «друга Кирилла», отправились его сопровождать. Сталин шел медленно, заложив руки на крестец и обо всех забыв. Четверо двигались в десяти шагах сзади, остальной отряд рассредоточился по периметру пруда, находясь, естественно, в постоянном движении. Сталин совершал круг за кругом, как будто вовсе и не собирался в кабинет.

Стеша и Ксюша улыбчиво посматривали на своих спутников. Особенно на Смельчакова. Петя, конечно, пригож, но немножко слегка чуть-чуть простоват, вроде артиста Алейникова. А вот Кирилл Илларионович, бесспорно, хорош по всем статям и поэт почти головокружительный. Надо признать, что и поэт не очень равнодушно прогуливался с этими высокими, статными девушками.

Спецбуфету нельзя отказать в грамотном отборе персонала. В кругах ходили разговоры, что эта организация постоянно набирает силу и даже как бы уже выделяется из породивших ее структур. Шеф-повар, во всяком случае, носит на каждом плече по две полярных звезды.

А вот и еще одна полярная звезда без всякой подготовки появляется среди ветвей в завечеревшем небе. Не Арктуром ли она зовется? Не беду ли предвещает всему этому дому? Сталин вдруг резко остановился и медленно стал поворачиваться. С чем пришел ты на грешную землю, серый человек? Пришла ли пора прощаться?

«Знаете ли вы, товарищ Сталин, что вам грозит бессмертие?» – громко спросил Кирилл.

«Чаапаев, арестовать этого гражданина! – скомандовал Сталин. – Он угрожает мне бессмертием! Отведите его под тот дуб!»

Чаапаев аккуратно, но непреклонно левой рукой взял Смельчакова под локоть. В правой руке у него появился пистолет. Вдвоем они деловито прошли под смертельную сень осминожьего древа. В ожидании казни Смельчаков уставился на повисшую над щупальцами звезду. Вспомнилось нечто, пронзившее его в отрочестве: «О, любовь моя незавершенная, в сердце холодеющая нежность! От чего душа моя зажженная падает звездою в безнадежность?» Черный контур красавицы-птицы вдруг явился, планируя, в зеленоватой прорве и закрыл звезду. «Стреляй!» – взвизгнул Сталин. Грянул выстрел, и птица упала к его ногам. Потрепыхалась мгновение и развалилась.

«Коршун, – сказал Сталин после некоторого молчания. – Жаль бродягу небес. Ничего бы не случилось, если бы он не таскал у нас гигиенических кур». Махнул рукой: мол, что поделаешь, все время сею смерть, – и поплелся к дому, где привык проводить ночи над премудростями академика Марра. Евреи, евреи, говорила его шаркающая походка, что поделаешь, если они перехватывают все наши идеи. Вспомнил что-то, никотин как-никак, малость выветрился из органа мысли. Помахал рукой. «До свидания, Кирилл! Созвонимся!»

Петр Чаапаев припрятал парабеллум для лучших времен подготовки к миру. «А ведь так я мог вас и убить, Кирилл Илларионович. Вот парадокс, я просто расстроен: ведь вы мой кумир, но я бы вас устранил в случае приказа».

«Ну не расстраивайтесь, – пожал плечами Смельчаков. – Приказ Сталина – закон природы».

Подбежали девчонки-спецбуфетчицы, стреляли глазами. «Петяша, подбросишь нас до метро заодно с Кириллом Илларионовичем?»

Чаапаев обнял обеих за плечи. «Видишь, Кирилл, какие у нас кадры на Ближней даче? Лейтенанты, вперед!»

Ледяной дождь

В октябре «бабьему лету» пришел конец. Началась «волшебная пора, очей очарованье», то есть слякоть. На обширных пространствах исправительно-трудовых и штрафных лагерей уже давно валил снег. В Коми АССР вспыхнуло массированное восстание заключенных. Через две недели, после того как были подтянуты танковые части и штурмовая авиация, оно было подавлено. Москва об этих событиях, конечно, ничего не знала. Вскоре после бунта в жарких местах Средней Азии землетрясение стерло с лица земли столицу одной из республик. Москва и об этом не ведала. Москва хлопотала по своим делам. Многие семьи запасались пальтовой материей «драп» или «ратин», подкладками, ватином, пуговицами, меховыми воротниками, озабочивались ордерами на пошив. Видные дамы, супруги генералов и партработников, заказывали панбархатные платья, нередко с кружевными жабо. В меховых магазинах отбирались рыжие и черно-бурые лисы для украшения горделивых плечей. Вскоре начнутся осенние премьеры, и дамы будут прогуливаться со спутниками жизни по театральным фойе.

В семействе Новотканных все эти панбархаты и наплечные лиски с их оскаленными мордочками и зловеще поблескивающими стеклянными глазками, разумеется, решительно отвергались как «моветон». Ариадна Лукиановна предпочитала вместо шедевров гарнизонного стиля ловко скроенные костюмчики из тонкой шерсти, ну и для особенно торжественных оказий удлиненные шелковые платья со скромной накидочкой из соболей.

В тот вечер, который мы избрали для решительного поворота к последовательности событий, она сидела в своей гостиной за чайным столом вместе с мужем и соседом, адмиралом Моккинакки. Мужчины оживленно обсуждали последние испытания устройства. Скандал, вызванный несколько бестактным сватовством адмирала, был почти забыт. Ксаверий Ксаверьевич больше не прибегал к прямому силовому давлению. Похоже было на то, что мужчины нашли общий язык и пришли к какому-то соглашению. К какому соглашению? Ариадну Лукиановну в этот вопрос почему-то не посвящали. Вместо этого без конца говорили о мегатоннах, о секторе поражения, о радиусе разброса. Чтобы вас черт побрал, думала Ариадна, хоть бы сгнили ваши изделия, хоть бы развалились все ваши, а заодно и американские, вооруженные силы, включая пресловутую авиаматку, куда нагнали блядей из Спецбуфета, куда и наша майорша Нюрочка частенько следует за псевдорассеянным Ксавкой.

Надо сказать, что Адночка Рюрих-Новотканная, приобщившись к широкому фронту борьбы за мир, самым серьезным образом в серьезность этой борьбы уверовала. Ей стал претить милитаризм как на Западе, так и на Востоке. Увы, увы, думала она, ничем не остановить взбесившихся мужланов. Придумали теперь ядерное оружие и ради гадких своих гормональных амбиций готовы пустить его в ход. Похваляются своими мегатоннами, ослы! Фаллосами своих пушек! Ради великих своих говенных побед идут на массовые обманы людей Земли, прячут реальную информацию об угрозе. Только двух мужчин она еще была готова, но с оговорками, исключить из этой своры: Эренбурга и Смельчакова. В их глазах хотя бы читается правда, жаль, она не проявляется на языке. Что же остается делать нам, женщинам планеты? Может быть, начинать всемирный заговор Лисистраты? Права я или нет, как ты считаешь, молчаливо спрашивала она услужающего военнослужащего Фаддея. Тот так же молча ей отвечал: отчасти да, Ариадна Лукиановна, отчасти нет, родная моя!

Чтобы показать отчуждение от бесконечного словоблудия бесноватых атомщиков, она начала прогуливаться с сигаретой по всему сектору поражения, то есть по всей гостиной. В окнах то и дело хлопотливо пролетали, как демоны войны, основательные заряды снега. Что за климат, почти непригодный для жизни? Может быть, отсюда, из этой гнили, и идет страсть к вооружениям как сублимированное желание власти над Югом? Ведь если бы весь мир был подобен Бразилии, не возникали бы и оголтелые банды подполярных варягов, то есть врагов, не так ли? Ей виделась блаженная Бразилия, где правит совет земных жен, а атомных мужепесов держат в клетках!

Она смотрела вниз на городские кварталы, зябко поеживающиеся в сумерках гриппозного вечера. Ничего хорошего осень не предвещала. Кремль весь почти нивелировался в снежноватых крепискьюлях, светились там по всему радиусу распада лишь два-три окна в солдатских сортирах. Единственное, что еще как-то более-менее слегка чуть-чуть положительно влияло на угасающую утопию, состояло в циркуляции троллейбусов 16-го маршрута: почти всегда полупустые, хорошо освещенные внутри рыдваны вроде бы намекали на возможность нормальной жизни в этом городе бесконечных угроз; молчок! С приходом этой осени Ариадна Лукиановна постоянно ощущала нарастание какой-то смутной тревоги.

Вот и Нюра, раскрасневшаяся со слякотного мороза. Автомобиль Ксаверия Ксаверьевича был в ремонте, и ей пришлось перебежками и пересадками добираться до Сивцева Вражка, то есть до нашей спецаптеки, чтобы запастись перед отъездом на север необходимыми составами для измельчения и втирания. «Чтойсь ноне без покойствия в округе, – заговорила она на своем псевдоарзамасском наречии. – А уж наши-то хоромы прям как в осаде. Ищут, что ль, ковось?» Все тут повернулись к ней, и она рассказала, что возле дома стоят по крайности три спецмашины и фургон, а агентура-матушка в пальтищах и шляпенциях частью стоит в главном подъезде, а частью по дворам шастает. Рассказав это, она неожиданно зорким взглядом мгновенно проехалась по невозмутимой фигуре адмирала, покачивающей длинной ногой из глубин комфортабельного кресла.

Моккинакки еще минут десять поговорил с Новотканным о Пентагоне, который в ответ на наше устройство, безусловно, затеет очередной мерзейший виток в гонке вооружений. «Ну что ж, будем отвечать лоб в лоб – такова наша философия, – подытожил он и встал во весь свой недюжинный рост. – К сожалению, не могу дождаться Глики. Меня ждут на Фрунзенской набережной. Адночка, передайте, пожалуйста, нашей егозе, что я сегодня буду поздно, а завтра утром ей позвоню». С этими словами он откланялся. Ксаверий Ксаверьевич тут же углубился в

какой-то британский военный журнал, а Ариадна Лукиановна вместе с военнослужащими удалилась в служебные помещения, чтобы обсудить меню ужина. Страннейшее беспокойство не давало ей сосредоточиться. «А, готовьте что угодно, Нюра – сказала она в конце концов, – ведь вы лучше меня знаете его вкус». После этого, почти не скрываясь, она взяла руку Фаддея и положила ее себе на грудь.

Едва Глика вышла из лифта на своем этаже, как из глубины фойе, словно прямо из стены, вышла огромная фигура в пальтище с поднятым воротником и в надвинутой на глаза шляпе. «Вы что здесь потеряли, товарищ?» – дерзновенно спросила девушка. Фигура обволокла ее своим пальтищем и приблизила ко рту, от которого шел запах лука, жаренного на оливковом масле. «Глика, дочь моя, жена моя! – лихорадочно зачастила фигура. – Быть может, вижу тебя в последний раз! За мной идет охота! Знай, что, если меня убьют, в последний момент жизни я вспомню тебя и только тебя!»

С этими словами он вышвырнул ее из своего пальто и грянул вниз по пожарной лестнице. «Жорж!» – вскричала она в некотором полубезумии, которое неизбежно испытывает человек при неожиданных и мгновенных потрясениях. Но топот его шагов становился все глуше, пока не пропал.

Он быстро, но без суеты вышел из маленькой двери в огромный храмоподобный вестибюль высотного дома с бюстами Ленина и Сталина, с вывеской «Агитпункт» (страна шла к ноябрьским выборам в Верховный Совет), направился к главному выходу и с полпути, не вынимая из карманов, стал стрелять в две руки по таким же, как у него самого, пальтищам и шляпам. Кто-то упал под пулей, а кто-то просто раскорячился от неожиданности. Никто не понимал, откуда идет огонь: за семь лет, прошедших после войны, народ отвык от боевых действий. В этой суматохе Моккинакки все той же деловой походкой пересек вестибюль по диагонали и вышел в садик на заднем дворе. Там в почти окончательном мраке стоял силуэтом юнец с большим доберманом. Рядом разлапился кляксой давно вроде бы забытый мотоцикл младшего дворника, дяди Егора. Моккинакки оседлал его, как своего, и с мощным рычанием вскарабкался по холмам к руинам Новоафоновского подворья и далее на Володарского, к путанице дворов Котельнических переулков.

Глика, конечно, устремилась вниз, как только чуть-чуть пришла в себя, то есть минут через пять. Не исключено, что она даже слышала пальбу в вестибюле, хотя, конечно, ей и в голову не могло прийти, что кто-то может стрелять под этими сводами. Зрелище панической беготни, распростертые на мраморных плитах тела, а также хаотический шум, в котором выделялись жутковатые начальственные вопли, заставили ее прижаться к стене, как раз в двух шагах от той двери, через которую ушел Жорж. В отличие от наблюдательной Нюры она десять минут назад прошла мимо агентуры в шляпах, ничего не заметив. Только теперь она подумала, что Жорж, по всей вероятности, мимикрировался именно под них. Он сказал, что за ним идет охота. И уж не он ли сам устроил тут побоище? Что все это значит? Кто они, эти большущие пальтищи и велюровые шляпы? Неужели какая-то банда пыталась расправиться с высшим офицером флота прямо под носом нашей милиции и спецохраны? Словно в ответ на эти мысли, вестибюль стал заполняться чинами МВД и МГБ. Она поняла, что погоны и кокарды заодно со шляпами и поднятыми воротниками. Появились военные санитары с носилками. Местные служители расшатали огромные двери и открыли их настежь. Начался вынос раненых и сраженных наповал. Ни малейших следов Жоржа не замечалось.

Неужели за ним охотится наша власть? За героем, орденоносцем, контр-адмиралом морской авиации? Неужели он, не вступая ни в какие объяснения, начал драться с нашей властью? Убит? Подстрелен? Пробился? Исчез? Прячется где-нибудь в доме? Надеется опять перелететь в «Абхазию»? Вдруг какая-то волна сущего восторга, сродни вальсу Арама Хачатуряна к пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад», подхватила и закружила ее, и кто-то трубно и непонятно какими словами, то ли абхазскими, то ли баскскими, запел у нее внутри о том, что только так и следует жить: сопротивляться, пробиваться, исчезать; ах, Жорж, я должна быть с тобой, сидеть в кокпите, целоваться, глотать коньяк, выискивать в ночи посадочные огни!

Она выскользнула в маленькую дверь и, только оказавшись в сыром темном саду, пришла в себя. Но ведь Жорж не может быть врагом нашей власти! У нашей власти вообще не может быть никаких врагов в Советском Союзе. Наши враги сгруппировались извне. Если за Жоржем началась,

как он сказал, «охота», значит, произошла какая-то чудовищная ошибка. Наша власть где-то дала сбой, и вместо нее вдруг стали действовать частные низменные страсти. Вот в этом, может быть, и есть отгадка сегодняшних безобразных событий. Мы все, люди 18-го этажа, должны защитить от низменных человеческих страстей нашего соседа контр-адмирала Моккинакки, собственно говоря, моего будущего мужа. Ксаверий обладает колоссальным авторитетом в правительственных кругах. Сам Берия не раз у нас бывал в гостях и облизывался на меня, как мерзкий кот на аппетитную рыбешку. Мать – на короткой ноге с Булганиным, с Растрикарнопозецким! Кирилл… о, может быть, он ревнует меня к Жоржу, но… я смогу его убедить, что он должен в данном случае проявить, ну… некоторую солидарность… что ли… ведь он как-то намекал на связи в авиации…кажется, с главным маршалом Иваном Гагачеладзе. А что же Фаддей, что же Нюра?.. Уверена, что они тоже не так-то просты… Спецбуфет в наши дни становится основательной силой… а ведь они стали нам почти родными; достаточно вспомнить, с каким умилением смотрит на меня Нюра, когда я пожираю ее хрустящие блинчики! Однако прежде всего нужно найти Жоржа. Нужно дать ему понять, что он не одинок. В одиночестве в состоянии аффекта он может снова натворить глупостей. В самом крайнем случае нужно будет обратиться прямо к Сосо – так иногда детской ласкательной кличкой наша красавица называла своего кумира. Не может быть, чтобы он не слышал о героине Хельсинкской олимпиады! Гликерия, пришла пора проявить лучшие качества советской девушки!

Туго подвязав пояс своего пальто и прикрыв платком нижнюю часть лица, она стала обходить промокшие под порывами дождя и снега зады монументального здания. Здесь было пусто, ничто не говорило о трагедийных коллизиях фасада. Теннисные корты, что располагались поверх гаражей, были во власти котов, выясняющих свои, параллельные людским и, очевидно, не менее драматические отношения. Ветер трепал нетуго натянутые сетки. В одном из садиков, прямо у подножия центрального корпуса, она заметила блуждающее световое пятно ручного фонарика. Побежала туда. Опознала младшего дворника дядю Егора.

«Дядя Егор, вы случайно не видели Моккинакки с восемнадцатого этажа?»

Егор с горделивой независимостью – о нем говорили, что он был полным кавалером Ордена Славы – задрал свой дрябловатый подбородочек.

«Никаких Коккинаки с никакого этажа не ведаю. А вы кто ему будете, молодая гражданочка?»

«Дядя Егор, вы же знаете меня, я Глика Новотканная с восемнадцатого этажа, и фактически я Жоржу прихожусь невестой, то есть будущей женой, иными словами, я почти невеста будущего мужа Георгия Моккинакки». – Она постукивала зубами от неудержимого волнения, мысли ее смешались, язык плутовал.

«Я вам лично, барышня, посоветовал бы Жоржа в эту абсурдную (откуда он взял это слово?), в эту асбурную (мл. дворник тоже волновался) ночь не искать, а лучше пошли бы под протекцию родителей».

«Как же я могу сидеть с родителями, когда мой любимый неизвестно где, посудите сами, дядя Егор! – трепетала красавица. – Побегу сейчас в гаражи, может быть, сторожа его видели, может быть, он на своей машине уехал?»

«А вот этого я бы вам не посоветовал», – пробурчал дядя Егор и пошел прочь, подсвечивая себе путь вдоль глубокого следа мотоциклетных шин.

Глика все в том же закутанно-замотанном виде прошла по дворам, стараясь не приближаться к подъездам, возле которых стояли кучки явно взволнованных жильцов, а также лифтерши, шоферы персональных машин и милиция. Ярко светились открытые ворота гаража. Она беспрепятственно прошла внутрь этого обширного подземного помещения, где стояли новенькие «Победы» сталинских лауреатов. Невольно ей вспомнилась нашумевшая недавно карикатура художника-плакатиста Пророкова, напечатанная в журнале «Крокодил». Изображен там был противный и нетрезвый юнец в стильном пиджаке и со съехавшим набок обезьяньим галстуком. Расхлябанным телом юнец опирался на автомобиль, а подпись к рисунку гласила: «Папина победа». Юрочка Дондерон как раз принадлежал к этому племени «папиных побед», хоть и отрицал миловидностью своих черт всякое сходство с пророковским персонажем.

В поисках гаражных сторожей она прошла вглубь и вдруг увидела Жоржа. В своем сегодняшнем широченном пальто с висящим хлястиком и в шляпе тот стоял спиной к ней возле своего «Опель-адмирала». Она чуть было не испустила радостный вопль, но в этот миг еще две фигуры в такой

же одежде поднялись из-за машины, а мнимый Жорж повернулся, и она увидела вместо своего слегка верблюжьего, но вместе с тем безупречно аристократического возлюбленного бурую ряшку плебея с вывернутыми ноздрями. Ума все-таки хватило немедленно зайти за четырехугольную бетонную колонну. Матерясь и рыча друг на друга, агентура прошла мимо к выходу, после чего большой свет в гараже был притушен, и она выскочила во двор.

Опять принялся хлестать ледяной дождь. Народ попрятался в подъездах. Глику пронзило ощущение полного одиночества. Никто не знает, где Жорж. Никто в мире не знает, где мой Жорж, если он уже не схвачен этими жуткими плебеями. Так или иначе он исчез навсегда из моей жизни. Все, что я придумала для его спасения, – это вздор. Никто за него не вступится, кроме… кроме Кирилла, конечно. Вот кого мне нужно сейчас найти – Кирилла! Все-таки он прежде всего поэт и только потом уже человек государства. Мне нужно сейчас встретиться с ним. Конечно, он ревнует меня к Жоржу, но он поймет мое отчаяние, мое одиночество. Ни в коем случае не возвращаться домой. Даже если его нет дома, я открою его дверь своим ключом и, не зажигая света, буду там сидеть на нашей тахте и ждать его возвращения. Кирилл, давай совершим благородное деяние, спасем сумасбродного Жоржа!

На всякий случай она решила еще раз обогнуть корпус «А», выходящий фасадом прямо на Москву-реку. А вдруг в каком-нибудь парадном откроется дверь и оттуда как ни в чем не бывало выйдет контр-адмирал Моккинакки! Девочка моя, скажет он, как всегда чуть-чуть слегка цыкая языком над единственным неблагополучным органом своего тела, глубинным зубом мудрости, все, что тебя сейчас так тревожит и будоражит, – это не что иное, как сновидение, следствие твоей неверности мне и привязанности к Кириллу. Ты должна, дочь моя, любовь моя, проявить олимпийский стоицизм и все переиначить с точностью наоборот. Ничего не бойся, пролезай ко мне под одежду, прилипай к волосатому животу или, если хочешь, садись, как дитя, ко мне на колени, и я буду тебя баюкать до полного изнеможения.

Вот тут она очнулась от этих видений на бегу и снова с острейшим ужасом поняла, что этой безмятежной близости с Жоржем уже не будет никогда. Она шла стремительным шагом мимо огромных окон яузского «Гастронома» с пирамидами крабовых консервов «Чатка». Магазин был уже закрыт. Грандиозные люстры под кафедральным потолком притушены. В глубинах гастрономии, словно свечи в церковных притворах, тлели малые источники света. Вот бы, как католики в зарубежных фильмах спасаются в своих храмах, вот так бы спрятаться от всех бед в этом крабовом капище. Увы, и это невозможно.

Она повернула за угол и могла бы мгновенно проскочить торцовую сторону корпуса «А», если бы не услышала знакомый голос: «Смотрите, кто бежит! Да ведь это же Глика!» На торцовой стороне корпуса в красном мраморе была внушительная сводчатая ниша, в которой стоял трехметровый обнаженный по пояс «Сталевар», основательно напоминающий, между прочим, копьеносца Ахилла. Рядом с этой фигурой теснилась группа живой молодежи. Ба, да ведь это Юрка Дондерон со своими друзьями! Ну, конечно, это они: тут и вечный чечеточник Гарик Шпилевой, и монументальный Боб Ров, и две сестренки-молдавано-венгерки-барушки Машка и Кашка Нэплоше, и безукоризненный англо-денди Юз Калошин, и Эд Вербенко, отрицающий холод и потому пребывающий в черной обтягивающей майке, и вылитая копия Кларка Гейбла, саксофонист Томаз Орбели, и атлетический баскетболист Кот Волков. Интересно, что это сборище лиц представляло чуть ли не все основные отрасли МГУ, чьи медные символы украшают парадные двери гигантского храма наук: телескоп астрономии, ледоруб и молоток геологии, циркуль математики, тигль химии, микроскоп биологии, толстенный фолиант гуманитарных наук. Был здесь и я, бывший медикус, человек без определенного местожительства и подпольщик джаза Так Таковский, и потому с полной достоверностью свидетельствую встречу нашей звезды Глики с компанией высотной золотой молодежи, чья дружба произросла сорняками сквозь асфальт Москвы.

Она несказанно обрадовалась, увидев всю «гопу». Раньше-то, если читатель помнит, всегда старалась держаться на расстоянии, а тут вдруг прямо бросилась. «Ой, ребята, дайте закурить, я вся промокла!» Как будто сигарета спасет ее от дождя. Ей тут же кто-то спроворил вслед за сигаретой бутыльмент болгарской «Плиски», и она всем на диво отменнейшим образом сыграла горниста, то есть приложилась из горла. «Давай-ка, чувиха, полезай под мой плащ! – предложил Боб Ров и тут же скомандовал сестрам Нэплоше: – Машка, Кашка, ну-ка обратайте Гличку, не

дайте ей пропасть!» Попав в теплый каньон между пузом Боба Рова и твердыми титьками сестриц, с коньяком в руке и с дымящимся «Диамантом», Глика почувствовала неведомый прежде восторг поколенческой общности. Все-таки свои же все-таки типусы, хоть и не назовешь их «ребятами с нашего двора», голубей они не гоняют, однако ребятами с наших этажей можно, наивные мальчишки, гоняют миражи джаза. Боб Ров юмористически скосил глаза ей в затылок, а губы в ухо. «Глик, если почувствуешь с моей стороны какое-нибудь давление, не принимай лично на свой счет: это просто грозные силы природы».

Юрка Дондерон вне себя от счастья, потрясенный близостью своей девушки (а он, не знаю уж по какой причине, продолжал упорно считать ее таковой), тихо сказал мне: «Ты видишь, Так, какая это девчонка? Видишь, какая отчаянная? Не побоялась смешаться с нами!» Он стал прихлопывать в ладоши, отшлепывать ритм подошвой и запел блюз «Это всего лишь лачуга в том городе жалких лачуг». Я стал ему подыгрывать вроде как на трубе, Томаз подключился вроде как на саксофоне, и вскоре все мы пели, гудели и двигались, невзирая на всю зловещую бредовину этого дня.

«Ты слышишь, Глик, как для тебя поют „Плевелы“?» – сказал я той, которую тоже неизвестно по какой причине считал «своей девушкой»

«Что ты болтаешь, Такович? Какие еще плевелы?» – засмеялась кирноватая чувиха. Народ стал переглядываться. Похоже было на то, что Глика даже не слышала о том, о чем сегодня говорил весь город. Эд Калошин вытащил из своих тугих оверолов гадскую сегодняшнюю «Комсомолку» с фельетоном «Плевелы» на внутренней полосе. Гадский какой-то щелкопер по имени Нарарьянц обсирал там всю нашу компанию, вот именно всех в настоящий момент присутствующих. Особенно доставалось Юрке Дондерону, у которого в основном и собиралась «группа жалких низкопоклонников и отщепенцев». Начиналась статья с нареканий в адрес всеми уважаемого академика Дондерона. Родители Юрки, оказывается, проявляли «халатность» (терпеть не могу этого слова), «сквозь пальцы смотрели на безалаберность своего отпрыска» (вся фраза составлена из ненавистных слов!), «потакали» (еще одно гнусное, типично фельетонистское словечко) его сомнительным вкусам и увлечениям, которые как раз и толкнули его в объятия группы стиляг и бездельников, которых следовало бы назвать «плевелами» на теле нашего созидательного, бурно колосящегося и неуклонно идущего вперед общества.

Пользуясь частыми отъездами родителей, Юрий собирал в их пятикомнатной квартире компанию своих подозрительных дружков, щеголяющих попугайскими прическами, карикатурно узкими брючками и неизвестно как приплывшими к нам «бродвейскими» галстуками и жилетками. Далее перечислялись все присутствующие здесь, возле советского Ахилла, плевелы, которые съезжались на «папиных победах», высокомерно поглядывая на простых советских людей, как будто это именно они сами, а не их высокопоставленные родители привели их к таким победам. Кроме этих баловней судьбы, в компании нередко появлялись и темные личности без определенного местожительства. Таким, например, был некий Так Такович Таковский, снабжавший «золотую молодежь» самодельными пластинками джаза, от которого вся эта компания просто впадала в экстаз. Часами они могли отплясывать и голосить под эту «музыку толстых» в дондероновской или в каких-нибудь других подобных квартирах, которые они с ухмылками называют «хатами». В «хатах» они подогревают себя алкоголем и близостью ветреных девиц, именуемых в этой среде «кадрами».

И все это происходит чаще всего в высотном доме на Яузской набережной, где проживают заслуженные деятели нашей науки, литературы и искусства, а также руководители нашей промышленности, что уже само по себе является возмутительным кощунством. Многие соседи Дондеронов не раз выражали возмущение многочасовым грохотом, топотом, дикими песнопениями и визгами на 12-м этаже. На недавних первомайских праздниках в этой квартире произошло короткое замыкание, возникла пожарная ситуация. Нам кажется, что администрация высотных домов слишком снисходительно относится к подобным сборищам. Необходимо принять соответствующие меры. Мы надеемся также, что наша публикация привлечет внима-ние администрации вузов, и особенно МГУ, где эти оболтусы числятся студентами. Ведь помимо коммунальных безобразий стиляжные компании могут оказать серьезное разлагающее влияние на широкие массы молодежи, вольно или невольно, ненамеренно, а может быть, и намеренно, опошлить идеологическую чистоту нашего общества.

«Откуда этот Нарарьянц взялся? – спросила Глика, возвращая гадскую газету. – Похоже на то, что он и сам там бывал, на этих ваших, как вы говорите, „сэшнз“.

Все зашумели. Ну, конечно, он много раз бывал среди нас. Его вообще считали своим, называли Нарой. Такой вообще-то вроде бы ничего себе чувачок не первой молодости, лет тридцати, а то и с гаком, он на гитаре играл, такой держал ритм, совсем неплохой. Кто-то бодро пошутил: «Ну вот теперь из-за этого Нары мы и отправимся на нары!» Начался бурный, почти невменяемый хохот. С именем Нары вперед, на нары! Тут я заметил, что Глика озирает всю эту вечно жадную до хохота компанию с выражением некоторого ужаса на своих прекрасных чертах. «Вот дурачье, – шептала она, выбираясь из объятий Боба Рова и сестер Нэплоше и подбираясь таким образом поближе ко мне. – Слушай, Так, скажи им, чтобы все немедленно расходились на все четыре стороны, – прошептала она. – Пусть из этого дома бегут подальше. И не такие люди, как вы, здесь попадают в беду. А тебе особенно здесь нечего делать. Следуй за мной, я помогу тебе выбраться». Она взяла меня за руку и потащила за собой, и я, должен признаться, не сопротивлялся. Бежать вместе с Гликой Новотканной! Бежать, куда бы то ни было! Просто нестись вместе с ней без всякой цели! Хотя бы прыгать в Москву-реку, течь вместе с ней! Пусть преследует всякий, кому не лень, мы убежим вдвоем! Пусть вся жизнь превратится в бег! В бег с Гликой! Пусть преследует даже вот этот Ахилл-сталевар, пусть видит во мне Гектора, а в ней Елену, черт с ним. Пусть за его спиной разгорится сталинская топка, мы прыгнем прямо в нее и вместе испепелимся!

Но было уже поздно. Из холодного мрака на нишу со сталеваром надвигалось не менее полусотни плоскостопых с красными повязками народных дружинников. За ними подъехали задом и гостеприимно распахнули свои жопы три милицейских возка. Началась неравная битва. Боб Ров, поклонник Маяковского, с восторгом ревел строки поэта:

- Нет, не старость этому имя!
- Тушу вперед стремя,
- Я с удовольствием справлюсь с двоими,
- А розозлюсь – и с тремя!

Так и получалось, он стряхивал с богатырских плеч то пару, то тройку илотов. Кот Волков тем временем успешно применял приемы самообороны без оружия. На левом фланге, однако, Гарьку Шпилевого уже придавили. Дондерона, наоборот, схомутали и раскачали, словно собирались куда-то швырнуть. Сталинская топка уже багровела за плечами Ахилла. Сжигать, что ли, собираются вредоносные плевелы? Юзику Калошину то ли палкой, то ли свинчаткой стукнули по голове; он поплыл. Сестер Нэплоше дружинники обратали с гоготом, с прибаутками, с похабелью. С полдюжины плоскостопых пытались и до Глики добраться, однако наткнулись на препятствие в лице неукротимого Таковича. Дай мне дрынду твою, Ахилл, отбиться от кровососущего плебса! Трехметровый человек склонился ко мне и протянул свою длинную мешалку для раскаленного металла и дальнейшего пролома троянских стен. Я стал крутить эту штуку над головой, и вокруг нас с Гликой образовалось свободное пространство. Теперь отступаем, краса моя, крикнул я ей, и мы начали медленное отступление. Плоскостопые топтались по периметру. Им явно не хватало самоотверженности.

Мы не успели еще выбраться из этой свалки во мраке, озаряемом лишь слабой лампочкой над уличной нумерацией 1/15, как вдруг подъехал еще один автомобиль, на этот раз легковушка, то ли «Эмка», то ли «Форд», и осветила по головам кишение битвы. Из машины выбрались три субъекта в шляпах и пальто, а вместе с ними сукин сын Нарарьянц. Главный субъект сложил ладони вокруг рта и проорал: «Немедленно прекратить возмутительную драку! Сотрудники милиции! Начинайте погрузку!» Драка почему-то тут же прекратилась. Страсти, очевидно, были не так уж горячи. Стиляги, вперемешку с дружинниками, под наблюдением регулярной милиции стали влезать в фургоны. Шляпенции внимательно наблюдали процедуру. Нарарьянц в этих ночных трепещущих огнях смахивал на классического Иуду с полотен позднего Ренессанса. Он, стоя сзади и стараясь не засветиться, что-то нашептывал шляпенциям в ороговевшие уши.

Вдруг они все трое посмотрели на нас с Гликой и тут же стали приближаться. Нарарьянц за ними не последовал, а, наоборот, укрылся за автомобилем. Приблизившись, субъекты притронулись двумя пальцами к полям своих шляпенций. Странно, подумал я, какой-то нерусский салют; может, в демократической Германии их учили?

«Если не ошибаемся, Гликерия Новотканная, не так ли? Вас ищет ваша мать, генерал-майор Рюрих. Она очень взволнована в связи с… с некоторыми непредвиденными событиями. Нашим сотрудникам всем дан приказ сопроводить вас до дверей вашей квартиры в корпусе „Б“ на восемнадцатом этаже. Вот капитан Умывальный будет вашим спутником. Всего хорошего».

«Ну пойдем, – Глика дернула меня за рукав и тут же ослепительно улыбнулась капитану Умывальному. – Это мой мальчик, – и с ходу придумала мне имя: – Вася Волжский, – попала почти в точку. – Мы к тем ребятам не имеем отношения. Просто гуляли там и попросили закурить».

«А вот это зря, Гликерия Ксаверьевна», – строго сказал капитан Умывальный.

«Что зря?» – удивилась Глика. Мы уже шли. Быстрыми шагами удалялись от поля боя. Меня терзала досада и что-то вроде угрызений совести. Бросаю товарищей, сматываюсь под прикрытием дочки генерала Рюрих. С другой стороны, Глика недаром тянет меня за собой. Она понимает, наверное, что после дознания ребят передадут их высокопоставленным папашам, а меня с моими данными отправят прямой дорогой в лагерь. С третьей стороны, «Васе Волжскому» подвалила фортуна: он спасен удивительной девушкой!

«Зря вы курите, Гликерия Ксаверьевна! – с еще пущей строгостью сказал агент. – Зачем вам портить ваш великолепный цвет лица? – Порция строгости досталась и мне: – А ты, Василий, наверное, совсем уж искурился с твоим цветом лица».

Через несколько минут мы уже поднимались в лифте на восемнадцатый этаж. На этаже Глика хотела было открыть дверь своим ключом, однако капитан приостановил ее и нажал кнопку звонка. Дверь тут же открылась, за ней стояла удивительно красивая и величественная женщина. Капитан приложил два пальца к полям шляпы. «Ариадна Лукиановна, передаю вам вашу дочь Гликерию Ксаверьевну и ее друга Василия Волжского. Капитан МГБ Умывальный».

Ночной клуб

В Москве, хоть и именовалась она «столицей мира и социализма», как в любом мегаполисе бытовали некоторые кодовые фразы. Вот, например, если вы вознамерились купить доброй мясной вырезки, вам не обязательно было делать партийно-государственную карьеру и присоединяться к спецбуфетовским рационам. Можно было на Центральном, скажем, рынке подойти к мясному ряду, подмигнуть специалисту и задать ему условный вопрос: «У вас есть к о л– х о з н о е мясо по три двадцать?» Не пройдет и десяти минут, как вам вынесут увесистый кусман в газетном свертке и назовут окончательную цену. Будьте уверены, заказанный продукт не подкачает ни в свежести, ни в качестве разруба.

На исходе только что описанного дня с его столь паническими треволнениями, ближе к полуночи, в опустевших проходах закрывшегося на ночь Центрального рынка появилась высокая мужская фигура в черном кожаном пальто и в зеленой узбекской тюбетейке. Длинные тамерлановские усы изобличали в этой фигуре обитателя Ферганской долины, но уж никак не контр-адмирала Георгия Моккинакки. Подойдя к закрытым дверям мясного павильона, узбек стукнул по ним три раза увесистым кулаком и произнес с присущим этому народу акцентом: «У вас есть колхозное мясо по три семьдесят пять?» Внимательный читатель сразу же заметит разницу между цифрами «три двадцать» и «три семьдесят пять», а после того, как из-за дверей глухой, но внятный голос произнесет: «Колхозное мясо сегодня идет по три семьдесят семь», сможет предположить, что это похоже не на куплю-продажу, а скорее на обмен паролями для прохода внутрь. Читатель окажется прав. Двери приоткрылись, и высокий узбек вступил в мясной павильон.

Его встретил молодой человек в клеенчатом фартуке, надетом поверх морской тельняшки. Молодая плешь светилась в темных кудрях. Плечевые мускулы, нажитые мясной работой, распирали одежду. «Добрэ дошли, товарищ адмирал», – сказал мясник, и мы тогда сразу узнали под тюбетейкой и длинными усами нашего подозрительного Моккинакки. Пожав друг другу руки, двое пошли вдоль тускло освещенного торгового зала. Шаги адмирала гулко отдавались от кафельного пола, в то время как мясник семенил бесшумно, словно кот. Над прилавками на крюках свисали бараньи тушки с торчащими изо ртов игривыми бумажными цветочками. У

поросят такие же цветочки торчали из задков. По ночам вообще-то читающей публике не рекомендуем прогуливаться вдоль мясных рядов. Могут одолеть мысли о первородном грехе.

«Как вообще-то дела, Владимир?» – спросил Моккинакки.

«Совсем неплохо, – был ответ. – Квартиру подходящую нашел. Собираюсь жениться».

«Ты что, с ума сошел? – ахнул Моккинакки. Он даже приостановился от этой новости, как будто сам не собирался жениться совсем недавно. – Забыл, что приближается?»

Владимир хохотнул. Приподнявшись на цыпочки, положил руку на кожаное плечо. «Ничего, ничего, адмирал, все будет тип-топ. Я ведь не сейчас собираюсь жениться. В перспективе».

Они говорили на сербско-хорватском.

«Все собрались?» – спросил Моккинакки.

«Почти все. Кроме председателя. Можно сказать, что все».

«Он будет?»

«Можно сказать, что будет. На девяносто процентов будет».

«А десять процентов откуда взялись?»

«Десять процентов риска, друже адмирал. Сегодня по всей Москве какие-то облавы».

«Да, это верно, – вздохнул Моккинакки. – Однако ты же знаешь, Владимир, что председатель неуловим».

«Натюрлих, – подтвердил Владимир. – Но все-таки».

«Никаких все-таки, – сказал Моккинакки. – Риск есть риск, но не надо высчитывать его в процентах. Иначе все провалится».

Из торгового зала они прошли в разделочный цех. Там висели здоровенные говяжьи и свиные туши. Работала ночная смена. Несколько молодцов восточного вида, то ли кавказцы, то ли тюрки, а может быть, и южные славяне, стоя вокруг колод для рубки мяса, споро работали топорами. Пахло сукровицей. При виде адмирала они приостановили свой вдохновенный труд и с превеликим почтением ему поклонились. Моккинакки и Владимир прошли в дальний угол цеха, где за большим столом с закусками и бутылками сидело не менее дюжины мужчин разных возрастов, кто в обычной городской одежде, а кто с намеком на Среднюю Азию в стеганых халатах и в ковровых тюбетейках. При виде Моккинакки все встали и даже слегка как бы вытянулись на военный манер.

Рубщики тем временем возобновили разделку туш. Между делом они обменивались репликами. Занимливьё, кто он все-таки такой, этот верзила, которого называют адмиралом? Можда, белградский. Не знам, белградский он или загребский, но ясно, что птица высокого полета, интеллектуалец. Из евреев, должно быть. Говорят, что грек. Евреи часто косят под греков. И наспрам, верно? По тому, как щедро деньги раздает, видно, что еврей. Душко, перестань зубоскалить. А что? Евреи – самый щедрый народ, щедрее даже, чем черногорцы. Этот парень близок к председателю. Неужто? Тут есть ребята, которые видели его во время войны в боях за Баньску Быстрицу. Он был тогда при штабе председателя и звался Штурманом Эштерхази.

Над столом с яствами и напитками на белой стене висела большая схема коровьей туши, похожая на карту Советского Союза. Пунктирами на схеме были отмечены секторы разделки. Жорж после первого стакана водки расслабился, откинулся на спинку стула, вытянул под столом ноги и уставился на схему. Задние ляжки, окорока с филейными частями и последующими голяшками отчетливо напомнили ему дальневосточные пределы СССР. Грудинка с корейками, а также с куском, именуемым «почетный караул», – Украину. Загривок и седловина с ее отменными вырезками – Прибалтику с Белоруссией. Пашина и брюшные полости – разлюбезный Туркестан. Не исключено, подумал он, что когда-нибудь именно по этой схеме и всего нашего великого дракона разнесут.

«Ты не слышал, Георгий, что в этом городе происходит? – спросил его Зоран Кустурица, самый опытный из всех собравшихся в мясном павильоне гайдуков. – Говорят, что массовая облава идет внутри Садового кольца».

«Слышал, слышал кое-что, – усмехнулся он. – Говорят, что большой зверь, то ли лось, то ли мамонт, приплыл к Кремлю из моря Лаптевых». – Сел в вертикальную позицию и начал есть большой, сочный купат. Все присутствующие с уважением и пониманием смотрели, как быстро он расправляется с вкусной штукой и как пощелкивает языком, очищая ротовую полость. Затем продолжил: «А если серьезно, друзья, охота идет на вашего покорного слугу. Должно быть,

Абакумов получил приказ прямо от Сосущего. То есть в обход того, кого мы знаем. Короче говоря, контрразведка в штатском запечатала все подъезды в высотке на Яузе, а главный наряд скопился в том корпусе, где находится моя квартира. Они не торопились подняться, очевидно, потому, что старались разобраться, что происходит в доме, где живет вся знать. Я решил не ждать, переоделся в их стиле (всегда держал в гардеробе ратиновое пальто и мягкую шляпу), спустился в холл и сразу открыл огонь из двух карманов, как мы когда-то – помнишь, Зоран? – делали в Триесте. Еще раз убедился, как херово эти центурионы подготовлены к неожиданностям, пичкамаматерина. Началась паника. Они не понимали, откуда и кто стреляет. Тогда я вышел через черный ход и уехал на старом мотоцикле дворника Егора. Вот так в двух словах было дело».

По каменным лицам собравшихся было видно, что они не упустили ни малейшей детали из его рассказа. «Убитые, раненые были?» – спросил Зоран Кустурица. «Не исключаю, – печально кивнул Моккинакки. – То есть я хочу сказать, что были почти наверняка». Зоран бесстрастно постучал пальцами по столу. «Это плохо, Штурман. Ты, конечно, понимаешь, что это очень плохо». Владимир сзади подошел и наполнил стакан Моккинакки новой дозой болгарской сливовицы. «Конечно, понимаю, Зоран, – проговорил наш герой, – но без этого было бы еще хуже». Владимир облокотился на спинку его стула. «Ты видишь, адмирал, процент риска стремительно повышается. Надеюсь, что у председателя хватит здравого смысла, чтобы отступить». Моккинакки и Кустурица обменялись крайне серьезными взглядами. «Боюсь, не хватит», – пробормотал последний.

Не успел он произнести эту фразу, как пол по соседству со столом дрогнул. Крупный, метр на метр, квадрат покрытия стал подниматься, ведомый снизу мощной рукой, и отвалился в сторону, не потеряв ни единой кафельной плитки. Из подполья или, вернее сказать, из подземного хода вылезли два гайдука, закамуфлированные под пилотов «Аэрофлота». За ними молодцевато выскочил председатель в кашемировом пальто, плотно обтягивающем тяжеловатый, но мощный живот и такие же ягодицы. Удивительный человек, этот партизанский маршал, он даже не удосуживается менять внешность во время своих визитов в Москву. Всю свою жизнь, а она продолжается уже шестьдесят лет, он полагался на свою кабанью силу, на быстроту своих реакций, но больше всего на свою исключительную фортуну. Страх был неведом ему. В 1943 году в горах, когда от отряда личной стражи осталось всего пять человек, включая Штурмана Эштерхази, а ближайший каньон был занят батальоном горных стрелков вермахта, он сказал оставшимся, что ночью они пойдут на прорыв. Эштерхази начал его увещевать, говоря об исключительной экипировке немцев, об осветительных ракетах, о приборах ночного видения, о том, что по всем приметам наци знают, что обложили главного вепря, что нужно залечь в пещере по крайней мере на три дня, однако председатель только хохотал и делал похабные жесты. Эхо разносило его хохот по всему каньону. «Мы прорвемся, Штурман, потому что мы не можем не прорваться», – сказал он. Ночью, когда они выползли из пещеры, весь каньон полыхал огнем. Тяжелые бомбы ухали, сотрясая склоны. Трассирующие пули нацистских кротов ничего не могли противопоставить пролету валькирий. Впоследствии стало известно, что над Боснией в ту ночь шли стаи союзной челночной авиации; над темными местами они освобождались от излишнего бомбозапаса. Таким образом выход из окружения оказался для крошечного отряда увеселительной прогулкой. «Теперь ты понял, Штурман, почему нам везет? Мы прорываемся не для себя, а для истории. Это мадам Клио о нас печется! Ты должен понять это, советский пилот!»

Теперь в мясном павильоне Центрального рынка, глядя на вздымающуюся из подземного хода плотнощекую ряшку председателя, Моккинакки мгновенно вспомнил, как тот с упорством и задором пёр по тропинке на вершину горы, как пружинилась его жопа, громогласно выпускающая газы.

«Салют вам, герои!» – во весь голос провозгласил он сейчас и начал пожимать руки всем, стоящим перед ним навытяжку. Обнял Кустурицу и Моккинакки, ухватил за щеку Мому Дивача, взвихрил чуб Свете Кукочу. Все присутствующие, хоть и ждали этой ночью председателя, были, как всегда, потрясены его материализацией. Ночная смена мясорубов восторженно трепетала.

«Что вы смотрите на меня, как на мессию? – хохотнул он. – Я такой же, как вы все, скромный труженик Востока». Вытащил из кармана зеленый советский паспорт. «Вот, пожалуйста, Джезкаганов Исак Абрахамович. Пятый пункт: бухарский еврей». Важно уселся в центре стола под схемой разделки коровьей туши. Махнул «аэрофлотовцам», те достали из сумок полдюжины бутылок настоящей черногорской сливовицы. «Всем налить! За нашу федеративную родину!» Все

подняли стаканы. «На здраве!» После смачного, но короткого солдатского ужина началась серьезная беседа. Оказалось, что председатель прибыл в Москву рейсовым из Сталинабада. Во «Внукове» во всех дверях стояли патрули милиции и люди Абакумова. Пришлось воспользоваться окном ресторанной кухни. Удивительное дело: советский народ до сих пор любит деньги. Интересно, на что он их тратит. Интересно, что нас повсюду принимали за среднеазиатских спекулянтов или «цеховиков». Жорж, это была твоя гениальная идея построить нашу структуру под видом туркестанской братии. Даже наш акцент тут только помогает. Выпьем за Жоржа, приятели!

А что все-таки происходит в Москве? Какого Стеньку Разина тут ищут? Моккинакки еще раз, на этот раз с большим числом подробностей, рассказал о том, как он прорвался через блокаду высотки. Председатель задумался. Все смотрели на него. Мысль кочевала у него по лицу, то застревая на переносице, то устремляясь вниз, к брылам, то поддергивая вверх угол рта. Какое-то звено в нашей структуре провалилось, наконец высказался он. Какое? И по какой причине? Содруги, высказывайте свои соображения.

Никто не торопился высказываться. Все ждали, что скажет адмирал: контрразведка группы была целиком в его руках. Ждал и председатель. Пытливыми, хоть вроде бы и мимолетными взглядами изучал лицо товарища по оружию. Какая-то беда стоит у того в глазах. Он что-то потерял и мучается, что этого уже не вернешь. Скорее всего, это любовь. Он еще молодой мужик, взращенный к тому же советским комсомолом с его сопливым культом «хорошей, большой любви».

«Я догадываюсь, какое звено у нас провалилось, Зорб, – проговорил Моккинакки. – Это звено я сам. Операция „Высотка“ вначале прошла у меня идеально, но потом что-то пошло наперекосяк. Тот человек, о котором мы говорили прошлый раз, оказался моим соседом, больше того – он признал во мне друга юности еще со времен многомоторника „Коминтерн“. Я понял, что у него действительно есть прямой контакт с Сосущим и что мы правильно подложили ему векселя. Это еще впереди, векселя нам могут помочь. Друг юности мыслит не логически, а поэтически, и потому мы сможем его ошарашить, назвав источник векселей. Интересно, что он никогда не слышал о том, как после „Коминтерна“ меня расстреляли без суда в ярославской тюрьме, а ведь он всю войну вращался в кругах высшего генералитета и спецназа ГРУ. Говорят, что там охотно повторяли анекдоты про Штурмана Эштерхази, однако никто не связывал мифа с пропавшим полярником Моккинакки. Говорят, что даже Сосущий ничего не знал. Короче, я готовил поэта для решительной беседы, пока вдруг не произошел полнейший курьез: мы оба влюбились в нашу юную соседку, пламенную сталинистку. Прошу не ржать, приятели. Всякий любовный треугольник – это тяжелое испытание мужских и человеческих качеств. Я уважал его чувство. В конце концов мы оба выросли на любовной лирике Маяковского».

В этом пункте председатель не выдержал и расхохотался. «Мать моя, пролетарская революция! И это говорит мифический Штурман Эштерхази, на счету которого больше трахнутых баб, чем убитых фашистов! – Он стукнул пухлым кулаком по столу и запел советскую песню, он любил советские песни:

- Сердцу хочется ласковой песни
- И хорошей, большой любви…

Это что, тоже из Маяковского?»

Все за столом оживились, принялись ему подпевать. Очередная бутылка пошла по кругу. Один только Моккинакки молчал. Положив тяжелые ладони на стол, он с неопределенной косой улыбкой смотрел на председателя. Тот наконец угомонился и с дружеской суровостью повернулся к своему верному сподвижнику. «А, между прочим, ты мог все свои проблемы решить разом. Ответь мне теперь, Георгий, при наших самых близких товарищах: почему ты не выстрелил на первомайской демонстрации? Может быть, под влиянием прекрасной соседушки тебе жалко стало корифея всех времен и народов?»

Ладони Моккинакки сжались в кулаки. С минуту он сидел в диком напряжении, как будто удерживал самолет, попавший в грозу. Потом заговорил: «Как ты мог так обо мне подумать, Зорб? Разве ты не знаешь, какие чувства я испытываю к Сосущему? Конечно, я мог одним нажатием на спуск повернуть всю историю этого государства. На крыше ГУМа у меня была отличная позиция. Я видел их всех на трибуне Мавзолея, маршалов и членов Политбюро и в центре корифея, как Анри

Барбюс о нем писал, „с головой философа, в одежде простого солдата“. Правда, одежда простого солдата была из светлого сукна. Шинель скромного генералиссимуса. (Тут он вспомнил, что председатель тоже пристрастен к ярким индивидуальным маршальским мундирам, и усмехнулся, что не прошло незамеченным.) Короче говоря, среди черных и коричневых партийных пальто он был отличной мишенью. Можно было стрелять и без снайперского прицела, а у меня был еще снайперский прицел, как наши товарищи знают. Оставалось только дождаться сигнала».

«Сигнала от кого?» – перебил его рассказ Горан. Все, кто был за столом, замерли. В павильоне возникла мрачнейшая тусклая тишина, только ночная смена мясников стучала своими топорами. Моккинакки глазами спросил председателя: «Могу я сказать, от кого я мог ждать сигнала?» Председатель ответил вслух: «Скажи». Моккинакки продолжил рассказ.

«Там, на трибуне, недалеко от корифея стоял человек, который меня знает. Он должен был ровно в полдень либо снять шляпу, либо протереть очки. Он сделал второе. Этот сигнал означал, что вместо корифея на трибуне стоит Геловани. Какой смысл вместо тирана убивать актеришку?»

Югославы, в течение нескольких лет играющие роли узбеков, таджиков, армян и грузин, понимали, что чувствовал Геловани на трибуне Мавзолея. Они были поражены рассказом своего ведущего товарища. Конечно, они знали, что группа готовит главную акцию и что событие должно произойти во время первомайской демонстрации трудящихся. Они ждали благого известия, чтобы тут же поджечь бикфордов шнур последующих действий. Однако они не представляли, что исполнителем главной акции должен был стать не кто иной, как сам адмирал, Георгий Моккинакки, юрисконсульт Крамарчук, Султан Рахимов, Штурман Эштерхази. Самой невероятной новостью для всех было то, что на трибуне Мавзолея был человек, подающий сигналы снайперу на крыше ГУМа. Шляпа, очки – значит, он не из маршальского крыла вождей, а принадлежит просто-напросто к Политбюро? Все уже догадывались, кто это был, но никто, конечно, не произнес его имени. Самой же невероятной загадкой для всех было то, что именно в эту осеннюю ночь, именно в мясном павильоне Центрального рынка, председатель и Штурман решили поделиться со штабом группы этой страшной информацией.

Последнее, впрочем, прояснилось, когда председатель приступил к идеологической части совещания. «Содруги, приятели, братья, я уверен, что каждый из вас задавал себе вопрос, почему вместо того, чтобы участвовать в мирной созидательной жизни нашей социалистической страны, мы должны ежеминутно рисковать собой в сонмище врагов. Конечно, вы понимаете, что главная цель состоит в устранении Сосущего. Смысл этой акции в том, что Сосущий является непримиримым врагом нашей Федерации – вы знаете, что я испробовал все способы умиротворить чудовище, – и что он может в любой день двинуть против нас свою грозную армию, на вооружении которой сейчас появляются реактивные самолеты с атомными бомбами. Все это вам известно и понятно, но сегодня я хочу подбросить вам на размышление еще одну идею, которую мы недавно обсуждали на Бриони.

Дело в том, что с каждым днем для нас все яснее вырисовывается одна глобальная концепция, к которой раньше мы шли на ощупь. Устранив Сосущего, мы спасем не только нашу небольшую страну, но и весь гигантский Советский Союз. Сосущий и все его окружение не знают никакой другой системы управления, кроме правительственного террора. Это колесо раскручивается большевиками с самого начала их власти. Другой способ правления им неведом. Попробовали нэп – власть стала уходить из рук. Вернулись к удушающим методам. Вы все знаете, что там произошло к концу тридцатых. Фактически раздавлены были и партия, и вооруженные силы. В стране накопилось отчаяние такой мощи, какую можно унять только массовым буйством. Кто-нибудь из еще уцелевших, но ждущих ареста комдивов мог двинуть свою дивизию на Кремль. В любом из страшных лагерей в любой день могло вспыхнуть восстание. Короче говоря, Советский Союз уже тогда был на грани антибольшевистской революции. Большевиков спасла только война. Народ сплотился вокруг Сосущего.

После войны он должен был бы понять, что назрел переход к другой политике, но он этого не понял, потому что не может этого понять, как не может вампир не сосать кровь. Сейчас эта власть опять достигла критической фазы. Американцы подсчитали, что в советских лагерях используется труд по меньшей мере двадцати двух миллионов. Фактически создана рабовладельческая утопия, а у рабов есть склонность к бунту, вернее, тяга к бунту, еще вернее – неутолимая жажда. Бунты уже начинаются на Печоре и в Казахстане, за ними пойдут Сибирь и Колыма. Кремль при Сосущем

не может начать никаких реформ. Крутится порочный круг жестокости, больше, и больше, и больше – на разрыв! Вообразите себе, как все эти миллионы пойдут на Москву. Они уничтожат Советский Союз, а вместе с ним и весь большевизм и далее, увы, произойдет страшное – смерть мирового коммунизма. Последняя утопия двадцатого века, мечта пролетариата, погибнет навсегда.

Кем являемся мы, руководители Югославии? Славянскими националистами? Может быть. Но прежде всего, содруги, мы являемся коммунистами двадцатого века, европейцами, современными марксистами. Мы не можем позволить погибнуть этому государству, созданному Лениным, первому государству так называемой «диктатуры пролетариата», превратившейся в диктатуру кровососущего жлоба. Мы не можем позволить коммунистической идее развеяться над пепелищами СССР, и потому перед началом нового цикла борьбы я провозглашаю: смерть Сосущему!

Вся дюжина подпольщиков повторила вслед за ним: «Смерть Сосущему!», а молодые мясники в отдалении подбросили и поймали свои палаческие топоры.

Моккинакки, хоть и сопротивлялся, все-таки поддался председательской риторике и даже после последнего восклицательного знака почувствовал некоторый подъем. Только хлебнув еще полстакана болгарской государственной ракии, он вернулся к скептическому расположению духа. Поглядывая на мясистый затылок, он думал: «Ты, Зорб, преподносишь себя сейчас как борца за идею, а не движет ли тобой просто страх за свою шкуру? Слов нет, ты бесстрашно борешься со страхом, проникаешь в самую сердцевину чудовищного вражеского мира, однако потом ты возвращаешься к своим дворцам, к своим аляповатым мундирам, к восторженному реву толпы, к своей УДБ,[5]что контролирует эту толпу и концлагери так называемых «сталинистов» на Адских островах, то есть к своему миру, где ты сам уже стал Сосущим. Предположим, мы ликвидируем здешнего, но кто гарантирует, что следующим не будешь ты сам и что призрак коммунизма все-таки не развеется без остатка?»

Теплая рука друга легла ему на плечо. Председатель приблизил свои губы к его уху. Дуновение парижского лосьона проникло даже сквозь душный, пропитанный запахом скотской сукровицы мясной павильон. «Послушай, Штурман, пойдем поболтаем о наших блядских делишках». Они вылезли из-за стола и проследовали в торговый зал с его гирляндами бараньих и поросячьих тушек. Два телохранителя в форме работников «Аэрофлота» сопровождали их, однако на расстоянии, которое вроде бы исключает подслушивание негромкого мужского конфиданса. Председатель был значительно ниже Моккинакки. Тому иногда казалось, что с носа его может упасть капля прямо на довольно обширную уже плешь псевдомарксистской головы.

«Ты знаешь, где я жил последние три дня и три ночи, Эштерхази? – Председатель зорким глазом мониторил негладкое лицо сподвижника. – Представь себе, у Кристины Горской, в твоем собственном высотном доме. Фигурировал там как ее дядюшка из Риги, Вальдис Янович Скальбис, в прошлом красный латышский стрелок».

«Хм, здорово придумано, Зорб, – хмыкнул Моккинакки. – Лучшего адреса здесь не найдешь для рижского спекулянта. Тем более что у нее там живет тигр, верно?»

«Тигр под твоим собственным именем, между прочим. Штурман Эштерхази, ха-ха-ха! Если только это не твой сын. Остроумная девчонка эта псевдо-Кристина. Интересно, что она со своим неотразимым сексом стала будто бы неотъемлемым звеном всей нашей структуры, вообще всей этой истории, не находишь? Ведь ее привез в горы как раз Кустурица. Только потом она перебралась сначала в мой, а потом в твой блиндаж. Интересно, что в Москве она едва не вышла замуж за Кирилла Смельчакова. Ты знал об этом?»

«Зорб, как я мог не знать об этом? Ведь мы были с Кириллом на короткой ноге. Очень много разных напитков выпили вместе. У него всегда там стояли ящики „Греми“ („Любимый коньяк Сосущего“, – вставил тут председатель), я притаскивал коллекционный молдавский херес. С ним выпить, знаешь ли, одно удовольствие: читает стихи, несет всякий вздор, славный малый».

5

УДБ – Органы Госбезопасности Югославии.

«Скажи, Штурман, а он уже вычислил тебя как юрисконсульта Крамарчука?»

«Думаю, что нет, хотя однажды я вынудил его наедине со мной открыть тот чемоданчик. Оказалось, что он ни разу его не открывал за три месяца. Таков поэт. Он был потрясен этими векселями. Даже он не знал о существовании этих секретных ценностей СССР. Хотел было выбросить их с моста в реку».

«Надеюсь, он не сделал этого? Ты же знаешь, Штурман, что эти десять миллионов наши ребята с боем изъяли из казначейства».

«Один миллион, Зорб, я у него взял, вроде бы взаймы. Нужно было платить за явки в Узбекистане. Там эти векселя идут один за десять».

«Надеюсь, ты не забыл, что все это нацелено непосредственно на Кирилла? Точнее, на нашу фиксированную идею?»

«Зорб, мне кажется это битый номер. Он не пойдет на эту сделку и даже шантажа не устрашится».

«Ты очень высокого мнения об этом парне, Штурм, правда?»

«Это верно. Хотя, по идее, должен был бы его ненавидеть. Понимаешь, Зорб, мы оба влюблены в одну девчонку, и она заходит то ко мне, то к нему…»

«Глика Новотканная, как я понимаю?»

«Зорб, да откуда у тебя все эти сведения? Неужели от Кристины Горской?»

«Вот именно, от нее. Она там прогуливает своего полосатого Штурманочка и знакомится со всеми, кого встречает во дворе. Ты же знаешь ее общительность. Тигр подружился с доберманом-пинчером Дюком. Его хозяин юнец Дондерон влюблен в Глику. Эта девка окаянная, чудо красоты, выходит поболтать с Юркой, то есть как бы из жалости к нему. Потом она остается с Кристиной и часами откровенничает с ней, время от времени девки целуются».

«Боже! – вскричал могучий диверсант (он иногда несмотря на партийную принадлежность апеллировал по этому адресу). В отчаянии он сжал ладонями виски. – Ты так живо описываешь эти сцены, как будто сам с ними прогуливался!»

«Ну, конечно, прогуливался. Дядюшка Вальдис Янович из Риги ньемного плоховатенько п-русски. Девушки при мне лопотали, не стесняясь».

«Зорб, ты можешь мне открыть свою тайну? Зачем ты совершаешь эти чудовищные по риску путешествия? Отчего тебе не сидится в твоем коммунистическом королевстве?»

Председатель бросил на сподвижника быстрый серьезный взгляд. А вдруг это не он, подумал сподвижник. Вдруг и Зорба, как Сосущего, подменяет какой-нибудь искусный артист? Зорб подмигнул ему с какой-то похабненькой лукавостью, как будто прочел его мысль. Нет, это его типичная мимика. Никакой двойник не сможет такие тонкости воссоздавать. Вот сейчас он положит одну руку на мое плечо, а другой возьмет меня за пуговицу. Проявление высшей близости.

«Ты все-таки поосторожней, Штурм, – сказал дружище Зорб, кладя руку на плечо дружищи Эштерхази. – Будь все-таки посдержаннее в мыслях, содруг. – Другой рукой он взял его за за регланову пуговицу, напоминающую расколотый орех. – А что касается моих „чудовищных по риску“ путешествий, могу тебе открыть эту государственную тайну Федеративной республики. Самое главное тут заключается для меня в попытках отдалить старость. Риск будоражит гормоны».

Вдруг громкий стук в железные двери нарушил спокойствие ячейки. Председатель и адмирал в этот момент находились в дальнем конце торгового павильона. Оба присели за прилавки, одновременно вынули пистолеты и передернули затвор. В цехе разделки прекратились все разговоры, только стучала топорами ночная смена. Владимир пробежал через все помещения ко входу в павильон. Приоткрыл двери, с кем-то поговорил, пробежал обратно.

«Все в порядке, это за колхозным мясцом по три двадцать. Сказал им, чтобы зашли через часочек».

Председатель выпрямился с легким покряхтываньем: «Ох, как я люблю эти русские уменьшительные».

Гликино горе

Вася Волжский уже несколько дней жил на антресолях в квартире Новотканных. Ариадна Лукиановна отрекомендовала меня спецбуфетовцам как своего племянника из Ленинграда. Нюра прям-таки расцвела радушием при знакомстве с юнцом. Сразу поинтересовалась, любит ли он хрустящие блинчики. Фаддей хмурился с подозрением. Ему многое не нравилось в этой залетной птице, особенно склонность к долгим задушевным беседам с хозяйкой дома. Ксаверий Ксаверьевич, весь погруженный в борьбу с лабораторией в далеком Лос-Аламосе, охотно поверил в легенду о племянничестве и тут же, между нами, ее забыл, а если и сталкивался с юнцом в обширной квартире, похлопывал того по плечу и тут же уходил в свое сокровенное. Каждый в этой маленькой – по численности людей, но не по квадратным метрам – коммуне высотного люда жил своей особой личной жизнью, но больше всего, разумеется, это относилось к девятнадцатилетней Глике.

Прежде всего ее заботила, конечно, академическая программа на третьем курсе. Несмотря на нахлынувшую любовь надо было поддерживать безупречную репутацию лучшей студентки и сталинской стипендиатки. Не на последнем месте также были спортивные дела. После Хельсинкской Олимпиады в Госкомитет по делам физкультуры и спорта, можно сказать, потоком стали приходить приглашения для бронзовой медалистки принять участие в различных соревнованиях на водных дорожках Европы, Америки и даже Австралии. Эти приглашения, естественно, до самой спортсменки не доходили и немедленно засекречивались особым отделом. Однако влюбленный в свою питомицу тренер Поцелуйко каким-то образом о них узнавал и умолял Глику поддерживать форму, тренироваться, а также следить за гормональным балансом. Глядишь, Глик, и приглашение какое-нибудь придет от прогрессивных спорторганизаций. Буржуазные-то приглашения нам без пользы: им ведь не результаты твои нужны, а просто твои внешние данные, саксаульные (sic!) твои особенности, а вот, глядишь, на праздник «Юманите» вдруг пригласят, вот мы тогда с тобой в Париж и отправимся. И вздыхал змс Поцелуйко, и очи свои чернявые слегка чуть-чуть закатывал.

Что касается гормонального баланса и саксаульных особенностей, то они тоже не создавали благоприятной почвы для того, чтобы отвлечься от собственной персоны и хотя бы присесть на пять минут, поболтать с Таковским. Пропавший любимый Жорж не выходил у нее из головы, и всякое воспоминание о его ласковых руках, о мягких губах, о пушистой груди и о вечно твердом участке тела вызывало трепет и томление. С трепетом и томлением по Жоржу она входила в соседнюю квартиру, и второй любимый, бывший жених Кирилл, тут же поднимался из-за письменного стола, за которым он с почти уже неизбывными трепетом и томлением шлифовал свою «Балладу Тезея». Забываясь в его объятиях, она все-таки не забывала Жоржа, и, даже приходя вместе с Кириллом к финалу встречи, она ощущала, что образ идеального мужа теперь раздвоился для нее на этих двух мужиков, весьма близких к байроническим типам русской литературы, вроде Онегина и Долохова.

Но где же он, этот незабываемый Жорж? Жив ли он? Не угодил ли за какие-то немыслимые прегрешения в тюрьму? Был ли он достаточно искренен с ней, когда воспевал исключительные качества Сталина? Родители отметали все ее попытки поговорить с ними о судьбе Моккинакки. К черту, к черту, бубнил отец и тут же скрывался в своем кабинете. Забудь об этом человеке, говорила мать. Просто забудь. Неожиданно Глика подружилась с соседкой из корпуса В, укротительницей тигров Кристиной Горской. Почему-то ей казалось, что эта роскошная фемина имеет какое-то, пусть отдаленное, пусть косвенное, но отношение к бесстрашному Моккинакки. В этом смысле Глика проявляла некоторую детскую хитрость. Она ни разу сама не затеяла разговора о Жорже, а только с замиранием ждала, когда гибкая и влекущая дама среди множества своих тем вдруг коснется Жоржа, и тогда информация польется потоком. Ну вот, например, момент: Кристина, ну точно как мамочка Ариадна, на европейский манер отводит в сторону длиннейшую сигарету с золотым мундштуком – как раз «Фемину», антр-ну – ах, знаешь, лапа, в ту пору я, пуркуа не понимайш, имела мягкость к гидропланам; Глика вся напружинивается – вот-вот возникнет Моккинакки, – но, увы, артистка цирка вдруг отвлекается на их постоянного спутника Штурмана Эштерхази, и всякая моккинаккиевщина испаряется.

Это имя, Штурман Эштерхази, иногда проскальзывало в рассказах Смельчакова, и всякий раз он начинал бурно хохотать, как будто вспоминал что-то не совсем приличное. В устах Кристины Горской легенда превратилась в жизнь в виде годовалого тигра, которого она выводила на

прогулки по яузским дворам на тонком ремешке, словно болонку. Уссурийский этот красавец с его совсем еще не траченной юношеской шкурой воспылал к Глике бурными чувствами со всей, как говорила артистка, любезностью. При виде девушки он с грозным мяуканьем поднимался на задние лапы, давая всем присутствующим созерцать изумительный в его свежести поддон с весьма впечатляющим копулятивным органом. Кружащие вокруг стройных Гликиных бедер юбки привлекали усиленное внимание его носа. «Что это? – удивлялась гребчиха. – Уж не то ли, что приходит в голову?» «Фу, Штурманок! – с мнимой грозностью укорачивала своего питомца Горская и поворачивалась к девушке с шаловливым смешком: – Вы не ошиблись, Гликочка, лапа моя, этот эштерхазенок имеет интерес к молодым человеческим самкам».

Вот эти бесконечные «лапы» в ее устах тоже привлекали советскую аристократку Гликерию. «Лапа», «лапка», «лапочка», «лапуля», «лапуся» – все эти мягкости московского жаргона, которых она до Кристины нигде и не слышала, забавляли ее и щекотали язык. Однажды она даже обратилась таким образом к маме, «мамочка, лапка моя», что вызвало у Ариадны мгновенную напряженную стойку с последующим запретом употреблять «эти пошлости» в семейном обиходе.

А почему, Кристина, вы дали своему тигренку такое странное имя, интересовалась Глика. Ах, отвечала та и начинала хохотать с некоторым хулиганским оттенком. Проходила немного вперед и оборачивалась на Глику, играя греховными глазами через плечо. Ах-ах, я имела такого любовника во время войны в некоторых партизанских краях. Я попадала туда полностью беспорочной девочкой, а тот парень, ну Штурман Эштерхази, был во всей бригаде гра-андиозный спесьялист по девичьим вишенкам. Глика замирала, просто вытягивалась в струнку, прижимала правую руку к левой груди, левую руку к области пупка. Да что же это за парень такой, Кристина? Расскажите о нем поподробней, пожалуйста! Кристина округляла глаза, гудела в нос, отрицательно покачивала пальчиком. Это невозможно, лапуля, потому что полная секретственность, вы понимаешь? Вот и дядюшка Вальдис подтвердит, потому что сам был полнейшая парторганизация.

Гость Кристины Вальдис Янович Скальбис, который нередко прогуливался вместе с этими очаровательными особами, как раз к этому моменту вышел из подъезда. Он был, как всегда, облачен в свои исключительно мягкие одежды, длинное пальто, тонкий шарф, латышский лисий треух, однако в руке нес туго набитый кожаный портфель: ну типичный прибалтийский командировочный.

«Куда же вы собрались, дядя Вальдис?» – спросила удивленная Кристина. Тигренок, слегка подпрыгнув, покачнул весьма устойчивую фигуру с портфелем. Предыдущая тема к вящему разочарованию Глики была тут же вытеснена отъездом респектабельного гостя.

«Вынуждаюсь к срочному отбытию, – объяснил тот. – Нашего предприятие завтра имеет вручение переходящего красное знамено». Поцеловав племянницу в щеку и одобрив рукопожатием комсомольскую юность столицы, он сел в ожидавший его автомобиль с номерными знаками московского горкома.

Рассказывая Глике всякие истории или намекая на нечто большее, заслуженная артистка Горская как бы поощряла младшую подругу на ответную словоохотливость. Глика, однако, сохраняла определенную степень сдержанности. Так, например, с удовольствием рассказывала об олимпийских своих ристалищах в Хельсинки, но не распространялась о семейном быте и уж тем более о деятельности своего сверхсекретного папочки. Однажды, проходя с тигром под величественной аркой центрального здания, они увидели быстро идущего от подъезда к большому черному автомобилю Кирилла Смельчакова. Шофер открыл ему дверь, он прыгнул внутрь и отбыл, так и не заметив двух близких ему женских персон вместе. Штурманок, потянувшийся было к знакомому человеку, разочарованно рыкнул.

«Я слышала, лапуля моя, что Кирилл Смельчаков произвел вам предложение руки и сердца, – в изящном изгибе полюбопытствовала актриса цирка. – Простите за, ну как это, инвазию личного интима, но это правда, не так ли?»

«Но от кого вы это могли услышать, Кристиночка?» – поразилась Глика. Юное сердце ее испытало при этом вопросе какой-то едва ли не оперный полет.

«От нашей лифтерши Марьям Башировны», – был ответ.

«Поверьте, это преувеличение, речь, очевидно, идет просто о своего рода лирическом отступлении в жизни поэта», – затараторила юная красавица. С приходом женственности пришла и склонность к вранью. Такого рода вопросы, исходящие от многоопытной и все еще

прельстительной дамы, будоражили и наполняли почти головокружительным тщеславием вчерашнее дитя. Если мы говорим сейчас с ней о моем Кирилле, то не исключено, что в один день мы коснемся и моего Жоржа, не так ли, моя тигриная лапуля?

Обо всем этом я мог только догадываться в бытность мою под крышей Новотканных. Глика меня практически не особенно замечала. Вечно врывалась в преувеличенной спешке, проносилась на кухню, под возмущенные крики Нюры хватала кусок колбасы с колбасой, стремительно влетала в свою комнату и захлопывала дверь. Утром в таком же темпе проносилась в санузел, потом на кухню, варварскими укусами и глотками уничтожала аппетитнейший Нюрин завтрак и уносилась прочь. Частенько, впрочем, она вообще не врывалась, не влетала и не уносилась прочь, пребывая, по всей вероятности, в квартире поэта, расположенной с удивительным удобством на том же 18-м этаже.

Интересно отметить, что третья дверь этого этажа была запечатана сургучом. Это напоминало мне раннее детство, когда после ареста родителей в нашу квартиру пришли какие-то люди в белых гимнастерках и белых шлемах, очевидно, мильтоны, и запечатали сургучом почти все горсоветовские комнаты, кроме детской, где все оставшиеся и сгрудились. После такой шикарной милиции вскоре появились и наркомвнудельцы в штатских пальтуганах и военных прахарях и довершили разгром.

Иногда, в те моменты, когда сталкивались лоб в лоб и уж никак нельзя было не отреагировать на физическое присутствие паренька ростом 175 см с «канадским» чубом еще на 8 см вверх, она бросала: «Как дела, Такович?» – и, не дожидаясь ответа, огибала препятствие.

Тем более мне показалось странным, когда однажды в вечерний час она без всякой спешки поднялась на антресоли и тихо произнесла: «Прости, мне нужно с тобой поговорить». Мы открыли окошко – возник до сих пор удивляющий меня ровный московский гул на одной ноте с неожиданными и трудно объяснимыми рваными стаккато – и задымили наш излюбленный албанский «Диамант», который в нашей стране называли «Диаматом», то ли из-за свойского отношения к «мату», то ли из приверженности к диалектическому материализму. Мы, плевелы, называли этот сорт «Динамитом».

«Знаешь, вчера Юрку Дондерона арестовали», – произнесла она довольно спокойным тоном; запнулась только между предпоследним и последним словом этой фразы.

«Ты точно знаешь?» – спросил я и тут подумал, что мы похожи на актеров, разыгрывающих эпизод из жизни подполья. Глика швырнула в окно окурок – на кого он упадет, кому такое счастье? – прошлась по комнате и села в кресло, обнаружив свои ноги, о которых даже теперь я не могу говорить без волнения.

«Сейчас я все тебе расскажу. Вчера под вечер мы гуляли вокруг дома с Кристи Горской и ее зверем, и вдруг я увидела Юрку. Он шел, держа руки за спиной, в сопровождении двух одинаково одетых, в шляпах. Увидев меня на расстоянии метров десяти, он крикнул: „Глика, прощай!“ Один из сопровождающих рявкнул: „Отставить разговорчики!“, – и тут же Дондерон был засунут в „Победу“.

Потрясенный, я увидел слезы в ее глазах и почувствовал, что ей трудно говорить. Я взял со своей подушки свежее полотенце и протянул ей. Пока она промокала свои глаза, меня посетила неуместная мысль: каково жить вот такой девушке, представляя собой постоянный соблазн мужчин?

Дондерон просто весь трепетал при каждом взгляде на Глику. Теперь он ее не скоро увидит, если увидит вообще. Она продолжила свой рассказ:

«Я побежала тогда к его родителям. Они оба были совершенно опрокинуты. Мать с неадекватным возмущением все время кричала, что эти типы запретили ей проводить ее мальчика до машины, как будто в этом и состояла вся трагедия. Отец все-таки нашел силы рассказать, как было дело. Значит, так, Такович, слушай меня внимательно. После боя с дружиной, откуда нас с тобой вывел агент, все „плевелы“ были доставлены в Таганское районное отделение милиции, по одному допрошены и выпущены на волю. Через три дня, однако, Юра получил повестку на допрос к следователю МГБ. Потом еще три раза с разными интервалами его вызывали. Он оттуда возвращался в довольно легкомысленном настроении, иронизировал по поводу вопросов и личности самого следователя, словом, не предвидел никаких драматических событий. В крайнем случае, предполагал он, вышибут из университета, и тогда он со своим новым

саксофоном отправится на „стройку века“, чтобы превратиться из „плевела“ в строителя коммунизма. В еще более крайнем случае забреют в армию, и тогда он станет мужественным бойцом за дело мира во всем мире. И будет, конечно, играть для бойцов на саксе. И вот сейчас произошел еще более крайний случай: пришли с ордером на арест. Не знаю уж за что, за игру на саксе, что ли?» Вот именно, подтвердил Таковский.

«Пока я сидела у Дондеронов, к ним пришел наш участковый, старший лейтенант Галеев. Он пожелал поговорить с академиком наедине, то есть „как мужчина с мужчиной“. Они ушли в кабинет, а я осталась с Юркиной мамой и совершенно не знала, как ее утешать и что говорить. Потом Галеев ушел, академик вышел и рассказал, какой был разговор. Оказалось, что один из эмгэбэшников приходится нашему участковому кумом. Он якобы ему сказал, чтобы утешил родителей. Их „плевелу“ светит не больше, чем три года. Есть даже возможность устроить его в лагерь на территории Москвы. Конечно, это в том случае, если академик Дондерон проявит взаимопонимание. Галеев с его солидным стажем в „органах“ будет осуществлять контакт».

«Что это значит, Такович? – спросила меня Глика. – Ты хоть что-нибудь понимаешь?»

«Ну, конечно, понимаю, Глика, – ответил я. – Как можно этого не понять? Просто им деньги нужны, этим гадам. Зарплаты маленькие, траты большие. Значит, тут у них налажена цепочка по облегчению участи малозначительных узников, другими словами – по набиванию собственных карманов».

«Такович, знаешь, мне все страшнее становится взрослеть, – тихо-тихо, почти на грани шепота произнесла она, глядя в окно на приближающуюся серятину ноября. – Как-то раньше я не могла себе даже и представить, что в социализме столько еще нетипичного, лишнего, невразумительного».

Я не стал спорить с ней о социализме, который, на мой взгляд, как раз сейчас и проявлялся в своих самых типичных, то есть блевотных, прелестях. Вместо этого спросил по делу:

«Скажи, а что с остальными „плевелами“? Кого-нибудь еще взяли?»

«Кажется, все выкарабкались. Во всяком случае, Кристи Горская такие сведения получила от своей лифтерши. Гарька Шпилевой сразу умчался в Мукачево к папаше под крыло, тот там большой военный начальник. Эд Вербенко, Юз Калошин, сестры Нэплоше – все более менее даже в студенческих списках уцелели, хотя и совмещают это с трудовым перевоспитанием. Была проблема с Бобом Ровом: слишком уж рьяно тот сопротивлялся дружинникам. Вот его как раз собирались отправить на Таймыр, однако вмешался его кузен Сева Бобров, ну да, тот самый футболист. Ты же знаешь, это наш герой: три гола забил в одиночку югославам! В общем, Юрочку моего сделали почему-то козлом отпущения».

Она пожала плечами, замолчала, потом у нее совершенно по-детски искривился рот, вот-вот заревет, схватила полотенце, отвернулась от меня и стала судорожно тампонировать глаза. Я взял ее за локоть. «Глика, что с тобой?» «Если бы я могла тебе сказать, что со мной, – бормотала она. – Но я не могу. Это ужасно, я ни с кем не могу поделиться своей бедой!» Она глянула на свои часики, ахнула, вскочила: «Ой, я в цейтноте! – Вдруг хохотнула с некоторой даже вульгаринкой. – Бегу!» Я стоял рядом с ней и все еще держал ее за все тот же локоток. Голова, кажется, была не в порядке. «Ну только тебя еще здесь не хватало, Такович! – с характерной грубоватостью, свойственной МГУ, произнесла она и нежнейшим образом высвободила свой локоток. – Послушай, Такович, или Вася Волжский, или как мне тебя еще называть, ты, конечно, понимаешь, что из всех „плевел“ ты самый уязвимый? Тебе уже никакой участковый не поможет, если распознают, так сразу и отправишься туда, где…» Она запнулась.

«Наверное, хочешь сказать: где твои родители прозябают? – с некоторым вызовом высказался я. – Так знай, что они не прозябают. Рабами их сделать никому не удастся!»

Она вдруг поцеловала меня, и не формально, а по-настоящему. Прижалась. Я чувствовал ее правую грудь и трепет правой ресницы. Вознаграждение за бестактность. Щедрое вознаграждение, я и не мечтал об этом. «Прости меня, Так! Я просто боюсь, что тебя в этом доме в конце концов вычислят. Здесь все нафаршировано слежкой. Говорят, что сам маршал Берия, между прочим, друг моего папочки, непосредственно занимается Яузской высоткой. – Вдруг снова грубоватенько хохотнула: – Представляю вашу встречу с маршалом на сорокалетнем юбилее Ариадны! – Объятие распалось. – Я просто не знаю, что тебе сказать, что посоветовать, я просто за тебя боюсь, Волжский! Не хочется терять уже третьего друга».

Я подумал, что вот сейчас я должен показать девчонке свое спокойное бесстрашие. Бесстрашие и ко всему готовность, сродни тому, что демонстрировал артист Джим Уайт (или Райт) в фильме «Почтовый дилижанс», неуклюже переведенном у нас как «Путешествие будет опасным». Я должен ей показать себя в роли «одинокого героя», как мне однажды сказала одна чувиха из Иняза. В Америке, оказывается, процветает культ одинокого героя. То есть в том смысле, чтобы рассчитывать только на свои собственные силы. Девчонка боится взрослеть, а я, как раз наоборот, жажду возмужалости. Надеюсь избежать лагеря до тех пор, пока не возмужаю и не проявлю себя каким-то действием. Глупо отправляться туда ни за что. Если уж это неизбежно, пусть будет за дело. Вместо всего этого я просто спросил Глику, кто там еще подвизается у нее в роли «третьего друга».

«Вот этого я как раз и не могу сказать, мой Волжский! – с подлинным чувством горя воскликнула она и добавила уже по-театральному: – Теперь прощай!» – снова прижалась ко мне на миг. Теперь уже левой грудью, и на моей щеке трепет ее левой ресницы. Умчалась. Экое счастье! Экое горе!

Странная суперженщина

Признаться, я чувствовал себя сейчас слегка чуть-чуть в довольно хреновой ситуации. С распадом нашего джазового клуба я лишился основного источника дохода. Знакомая проводница из поезда «Казань – Москва» продолжала привозить мне рентгеновские пленки, которые приносил ей мой друг и однокашник Дод Бахрах, однако здесь после гадского фельетона они лежали без дела.

В Министерстве здравоохранения, между прочим, совершенно не спешили вникать в дело о моем исключении из института. Вот скажите, товарищи, спрашивал я там разных референтов, может ли семнадцатилетний абитуриент предполагать, что нужно написать в анкете, были ли или находятся ли в заключении его родители, если этот вопрос в анкете не поставлен? Референты смотрели на меня с непонятной пристальностью, переглядывались, потом углублялись в бумаги и говорили из-под бумаг: «Мы постараемся для вас что-нибудь сделать». Проходила, однако, неделя за неделей, но ничего не делалось.

У меня еще оставались кое-какие деньги, и, в принципе, я мог снять какой-нибудь угол где-нибудь в Текстильщиках или в Реутове, уйти, что называется, «на дно», сидеть там, сочинительствовать до решения моего дела, однако Ариадна Лукиановна, так сказать, «не выпускала меня из своих объятий». Кстати говоря, об Ариадне. Вот уж не думал, что готовится ее сорокалетие, на котором среди прочих гостей ожидается маршал Берия! Мне иногда казалось, что ей от силы можно дать лет тридцать с небольшим, не более. Потом я спохватывался: как же тридцатилетняя женщина может быть матерью девятнадцатилетней девицы?

Так или иначе, но она опекала меня с такой энергией, как будто была моей родной теткой. «Постарайся как можно реже выходить из дому, – наставляла она „племянника Васю Волжского“. – Высотка находится на спецрежиме. Если будешь здесь шляться по дворам, а еще хуже по квартирам своих „плевел“, а еще хуже – полезешь на Швивую горку, сиречь улицу Володарского, где размещается спецобъект, то есть тюремный лагерь, то тогда тебя заберут обязательно. Покажи-ка мне свой паспорт».

Я показал ей свою паршивую полуклеенчатую книжицу. Собственно говоря, паршивость она приобрела от долгого пребывания в заднем кармане штанов – как будто затертость штанов передалась и зелененькой книжице. Это хорошо, сказала она, что ты все-таки записан русским, гражданин Константин Меркулов. А ведь ты не совсем русский, не так ли, товарищ поэт Такович-Волжский? Как ты догадалась, удивился я. Как-то так у нас пошло, что я стал с первого дня обращаться к ней на «ты». Ей, кажется, эта манера в моих устах очень нравилась. Из твоих сбивчивых рассказов, а еще больше по твоей физиономии, особенно по выпуклым глазам и впалым щекам, я поняла, что ты сын Лиды Хмелик. Верь не верь, но я была хорошо знакома с твоей мамой. Когда ее снова увидишь, спроси про Ариадну Рюрих, только в письмах не пиши. Я была сопливой девчонкой, а она уже утвердившейся звездой тогдашней литературы. В 1930 году

она вела поэтический семинар молодых в Звенигороде, и я там тоже подвизалась со своей графоманией. Лида Хмелик! Она была моим кумиром!

Ну хорошо, об этом потом. Пока посмотрим твою прописку. Она полистала гнусные странички и расхохоталась. Ну, брат, когда ты успел в девятнадцать лет набрать такую коллекцию? Казанская прописка, штамп спецкомендатуры Дальстроя, еще один такой же, третий, четвертый, временная прописка в Ленинграде, временная, истекшая, прописка в Москве… Знаешь, только ленивый не заинтересуется таким странным молодым человеком.

Я смотрел на нее и думал, что только ленивый из странных молодых людей не заинтересуется этой странной суперженщиной. Вроде бы принадлежит к самой верхушке нашего рабовладельческого общества, а в то же время выражает такое искреннее участие в судьбе паренька из отверженных низов. По выпуклым глазам и впалым щекам опознает сына Лидии Хмелик и в то же время признается, что эта «врагиня народа» была ее кумиром. Но самое странное заключается в том, что мы оба, Костя Меркулов и Ариадна Рюрик-Новотканная, испытываем друг к другу какое-то трудно объяснимое сильное теплое чувство. Вернее, наоборот, теплое сильное чувство, так, что ли? Или все-таки первый вариант, не так? Во всяком случае, ни к кому я за последние годы не испытывал такого полного доверия, кроме Лидии Хмелик и Юрки Дондерона.

В тот вечер жуткой новости и чудного соприкосновения… или наоборот?.. чудного соприкосновения с Гликой и жуткой новости о Дондероне… Итак, в тот вечер огромная квартира Новотканных была почти пуста, если не считать спецбуфетчика Фаддея. Именно он прошелестел из служб к входной двери на стук каблучков Ариадны Лукиановны. Со своих антресолей я слышал, как они негромко и довольно дружественно разговаривают. За дни, проведенные у Новотканных, мне иной раз казалось, что хозяйку и слугу соединяют какие-то личные узы, однако никогда в голову не приходило, что у красавицы-патронессы может быть что-то интимное с павианистым Фаддеем.

Если у Глики была просто отдельная, хотя и весьма обширная комната, то Ариадна тут располагала чуть ли не внутренней квартирой: гостиная-кабинет с массой книг, со старинным письменным столом, и глубже – спальня, гардеробная, ванная и даже маленькая кухня. «Такое расположение дает мне все-таки некоторое подобие независимости», – объяснила она мне. Я с пониманием кивнул. Всякий обладает правом на некоторую независимость, в том числе и на раскладушку под обеденным столом.

«Ариадна, мне надо с тобой поговорить!» – крикнул я с антресолей. «Спускайся, Васёк!» – ответила она. Я увидел сверху, как мелькнуло лицо Фаддея, залепленное негодованием в мой адрес: как смеет какой-то бродячий пацан так обращаться к важной персоне! Больше того, она подставляет пацану щеку для поцелуя, и тот непринужденно этот поцелуй осуществляет. «Чертовски устала, – говорит она. – Этот Комитет по Сталинским премиям – самый муторный из всех. Фадеев с компанией, включая и нашего Кирку Смельчакова, могут часами спорить над скучнейшими опусами».

Вслед за ней я прошел в ее гостиную и сел на диванную подушку прямо на полу, недалеко от ее великолепных, почти таких же, как у дочки, ног. Она попросила Фаддея принести чай. «Для Василия тоже?» – поинтересовался мрачневецкий павиан. «Тащи на двоих, Фаддей, не стесняйся», – сказал ему я. Государственная дама, глядя вслед негодующей фигуре, покатилась со смеху. «Ты классно говоришь с ним, ей-ей! Как-то по-флотски».

За чаем я рассказал ей о разговоре с Гликой вообще и о том, что случилось с Дондероном, в частности. Сказал, что, очевидно, мне придется «линять». Она насупилась. Однако я предпочел бы остаться, пока… Она просветлела. Пока что? Пока не узнаю, куда Юрку засунут. А это еще зачем? Ну чтобы иной раз махорочки другу подбросить. Слушай, Волжский, ты что это тут рисуешься таким бесстрашным? Хочешь сказать, что все вокруг трусы? В глубине квартиры столбом стояла фигура Фаддея. Ее можно было бы назвать стройной, если бы не похабновато откляченный задок. Фаддей, у вас сильно отросло левое ухо! крикнула Ариадна. Хочешь показать, что не все вокруг трусы? спросил я. Она рассердилась. Закрой дверь, Так Таковский, теперь сядь, Так Такович Таковский, и слушай.

Оказалось, что у нее созрел план по мою душу. Сейчас надо «слинять» недели на две. Она отвезет «племянника» на их дачу, в Звенигород. Да-да, именно туда, где в 1930 году на семинаре

молодой поэзии она познакомилась с Лидой Хмелик. Я буду официально оформлен как сторож. Мне выпишут трудовую книжку. Она берет на себя Галеева, чтобы тот вместо потерянного сделал мне нормальный советский паспорт с постоянной московской пропиской. Я буду время от времени приезжать в Москву и жить по несколько дней у них, а потом опять уезжать в Звенигород. Таким образом я не намозолю глаза здешним спецрежимовцам. За это время она внедрится в систему Минздрава, и я буду восстановлен в чине студента. После этого с помощью академических друзей она добьется моего перевода в Первый МОЛМИ.

Не веря своим ушам, я слушал Ариадну и не заметил, как на столе появилась бутылка недавно вошедшего в московскую моду грузинского коньяка «Греми».

«В МОЛМИ ты будешь среди лучших студентов и по примеру своей кузины Гликерии получишь Сталинскую стипендию!» – воскликнула она и просыпалась пьяноватым и совершенно очаровательным смехом. Только тут я заметил бутылку, а также то, что она на две трети уже пуста. «Ну и хозяйка, – пожурила себя Ариадна, – сама хлещет, а гостю, будущему сталинскому стипендиату, не наливает! – Встала и с изяществом неимоверным слетала за вторым бокалом. Вдруг просунула все пять пальцев свободной руки в мой чуб, еще сохранивший форму стиляжной стрижки. – А вот это нам придется срезать! Об-кор-нать! Превратить в идейно правильный комсомольский полубокс! – Протащив несколько раз туда и обратно свои пальцы через мою шевелюру, она вернулась в свое кресло. – Наше общество, Волжский, с чрезвычайной бдительностью относится к прическам. Не говоря уже о „канадках“ у мальчиков, оно не очень одобряет перманент у девочек. Предпочтение отдается вот таким, как у меня, ханжеским пучкам на затылке».

«Тебе очень идет твоя прическа, Ариадна, – сказал я ей по-дружески. – Я тебя просто не представляю с другой прической».

Она погрозила мне пальцем. «Шалишь, парниша, как говорила Эллочка-людоедка. Ну давай выпьем за наш Звенигород!»

Мы выпили и закурили по албанской сигарете из моей пачки. Первый раз я видел этого руководящего товарища курящей.

«Ариадна, можно задать тебе вопрос? Почему ты так хорошо ко мне относишься? Почему ты, такая строгая, сразу как-то очень сердечно меня приняла? Не могла же ты сразу вспомнить Лиду Хмелик, а?»

Она вздохнула и потрясла головой, как делает человек, освобождающийся от груза. Мне давно уже казалось, что, общаясь со мной, она вроде бы освобождается от груза. «Знаешь, когда тебя привела Глика, я сразу же подумала: ну наконец-то у нее появился подходящий парень. Ты чем-то мне напомнил Кирилла Смельчакова двадцать лет назад. Он моложе меня на три года, а я смотрела на него, как на мальчика. Между прочим, у него тогда тоже была беда в семье. Отца отозвали из Лондона – он там работал от СССР в международной комиссии по торговому арбитражу – и арестовали. Мать была в отчаянии. А Кириллу было семнадцать лет, он окончил школу и не знал, что делать со своим вдохновением, со своим самолюбием, ну и вообще. Отца, впрочем, вскоре выпустили, но тут же куда-то отправили, куда – неизвестно, в общем, зашифровали. Скольким людям эти сволочи искалечили жизнь!»

«Кого ты называешь сволочами?» – спросил я и подумал: сейчас назовет перестраховщиков, или бюрократов, или еще кого-нибудь из этого рода отговорок.

«Как будто ты не догадываешься, – усмехнулась она. – Большевиков, конечно».

Это меня потрясло. Даже среди маминых друзей в Магадане, уже отсидевших лагерные сроки, не было людей, называющих лопату лопатой. Разговоры велись довольно откровенные, но с иносказаниями. Большевиков, например, называли «наши тараканы», а Сталина почему-то величали «Отец Онуфрий».

«Но ведь ты, Ариадна, очевидно, и сама член партии», – с некоторой глуповатостью предположил я. Она сделала свой типичный аристократический жест ладонью, вроде бы означающий что-то вроде «катитесь вы все к черту».

«Конечно, я член партии. Как я могу не быть в партии? Но если бы ты знал, Такович, как я их презираю».

Мне стало не по себе. Ведь тут наверняка в стенах сидит прослушка. Как она решается так свободно говорить? Уж не…? Мне пришлось додумывать до конца. Она сказала:

«Не бойся, Фаддей перекрыл тут все прослушки, то есть перенаправил их. Он в меня влюблен и сделает все, что я ему скажу. Вот эта магия еще действует».

«Магия любви, ты хочешь сказать? – Я чувствовал, что краснею. Испытывал что-то отвратительное, смесь ревности и гадливости по отношению к павиану. – Или просто магия похоти?»

Она отмахнулась. «Да и того, и другого. Слушай, Такович, раз ты мне стал такой родной, я должна тебе открыть мой самый глубокий колодец. Ты, наверное, спрашиваешь себя, как могла женщина, презирающая большевиков, оказаться на вершине большевистского общества. Держись за свое стуло, мальчик: я сейчас расскажу тебе то, что до конца неизвестно даже моему Ксавке, даже другу юности Кирке Смельчакову.

Дело в том, что во время войны я оказала большевикам неоценимую услугу. Это не фигура речи, а исторический факт: у той услуги нет цены. Ты, конечно, видишь по моей девичьей фамилии, что я происхожу из немецкой семьи. Рюрихи принадлежали к остзейской аристократии, и в семье рядом с русским бытовал безупречный хох-дойч. Во время войны, когда вермахт подходил к Москве, я, движимая ифлийским патриотизмом, с помощью Смельчакова предложила свои услуги разведке. Я думала, они будут меня использовать для переводов или контрпропаганды, а они на самом верху – и Сталин, и Берия – занимались этим делом и – решили заслать меня в Берлин. Полгода меня готовили, а потом сбросили с кислородной маской с какой-то чудовищной высоты из секретного самолета. Не знаю, сколько времени я летела вниз. Надо мной не парашют раскрылся, а развернулись какие-то черные крылья. Я чувствовала, что они знают, куда меня нести. Увидев внизу Кёнигсберг, я поняла, что все русское от меня уже отторгнуто. Даже дочь уже не моя. В городе меня ждали высокопарные, но довольно сердечные родственники из нацистских кругов. Через несколько недель меня отправили к другим родственникам в Берлин. Там в честь меня стали устраивать светские рауты каждый раз со все более высокопоставленными нацистскими гостями. В конце концов там появился доктор Геббельс. Он приблизился ко мне, и я увидела, как он на глазах преображается, превращается из недоступного нацистского бонзы в подрагивающего от вожделения кобеля.

Мне было тогда около тридцати, и я была совершенно неотразима. Ты можешь себе это представить, Такович?»

«Ариадна, ты и сейчас неотразима», – с трудом произнес я. Весь этот бред показался мне сущей правдой, я даже чувствовал, что и сам могу на манер доктора Геббельса превратиться в подрагивающего кобеля.

«Шалишь, парниша! – хохотнула она и продолжила повествование: – Я была совершенно не ограничена в средствах, и вскоре в моем загородном доме стал собираться салон той нацистской сволочи, которая в отличие от кремлевской сволочи все-таки умела пользоваться парижскими духами. Одним из моих фаворитов был, разумеется, Риббентроп. Он, кстати, был не так уж плох, циничный и истерически веселый плейбой. Однажды он приехал с тем, с кем я должна была познакомиться во что бы то ни стало, то есть с Адольфом Гитлером. Его сопровождала эта занудливая Ева Браун. Летчики люфтваффе, которые постоянно шлялись к Эми фон Тротц, то есть ко мне, напоили ее допьяна. А я осталась с Ади. Вот говорят, что он был очень плохим мужчиной, но я этого не заметила. Вполне обычный трудящийся. На следующий день он прислал мне с адъютантом кокетливую открытку и, вообрази, коробку второсортного шоколада.

Вскоре после этого я получила из Москвы формулу основного задания. Надлежало вывезти из Берлина и переправить через линию фронта гражданина Германии Адольфа Гитлера (Шикльгрубера). Шло уже второе лето войны. Потрясающе, медом и юностью, пахли цветущие липы на Аллее-Под-Липами. Именно тогда мы с моими аристократическими родственниками приступили к выполнению задания. Говорить приходилось иносказаниями, намеками и умолчаниями. Граф Штауфенберг, кажется, понимал меня по колебанию сетчатки глаз. Постепенно с нашей стороны выстраивалась система предстоящей невероятной акции. Я была уверена, что погибну, что гестапо вобьет мне кол в причинное место. Каждая минута жизни могла оказаться последней. Я старалась наслаждаться всем, чем можно наслаждаться, включая музыку, мой друг. В конце концов германский мир дал нам Гайдна, плеяду Бахов, Моцарта, Бетховена, всех тех, кто каждым своим нотным листом опровергал марширующих нацистов.

Между тем Гитлер то и дело возникал на моем горизонте и всякий раз в своем романтическом облике – в черном кожаном пальто с поднятым воротником. Он почему-то трепетал перед своей Евой и потому устраивал наши свидания в своих отдаленных ставках, часто на оккупированных территориях СССР. Наконец, зимой 1943 года в Белой Церкви я усыпила его в постели, а группа моих фаворитов, летчики люфтваффе, перебросили нас с фюрером через линию фронта в бомбардировщике «Дорнье».

Представь себе, Такович, какое ликование воцарилось тогда в ставке Верховного Главнокомандующего Красной Армии. Те, кто был посвящен в это дело, а их было не больше дюжины, буквально пели мне осанну, называли спасительницей родины. Сталин же на банкете в честь Гитлера трижды облобызал меня и провозгласил тост за спасительницу человечества. Ну а фюрер, который, очевидно, думал, что все это сон, всякий раз при виде меня начинал аплодировать и кричать: «Гениальнише! Гениальнише фрау!» Все это происходило в глубочайшей тайне, в великолепных бункерах, похожих на какой-нибудь дворец Люцифера, последнего эшелона Линии Сталина. Не знаю, но живо могу представить, что происходило в те дни в верховных кругах Германии. В узких кругах известно, что именно в результате похищения фюрера капитулировала группировка фельдмаршала фон Паулюса в Сталинграде.

Как ни странно, Гитлер в плену чувствовал себя вполне привольно. Он спал до полудня, потом еще часа два таскался по своим покоям в халате, слушал радио «Голос Москвы» вроде бы на немецком, а на самом деле на грубом швабском диалекте, крутил пластинки с пошлейшими венскими фоксиками и сам подтанцовывал, как всегда, в своей плебейской манере. Да, гулял в подземном саду, с какой-то странной мечтательностью посматривал на фальшивое небо, откуда улыбался ему золотым ртом пышноусый Бисмарк. Короче, освободился от страшной власти, отдыхал. Во второй половине дня его допрашивали следователи военной прокуратуры, однако процедуры эти были недолгими, ну час в день, не больше, и касались почему-то не особенно злободневных тем, ну, предположим, структуры национал-социалистической партии Германии.

Очень оживлялся фюрер по вечерам, когда для общения с ним приезжали высшие фигуры ВКП(б). Ему нравились их полувоенные костюмы, высокие сапоги, скрипучие портупеи. Нравились пролетарские манеры и отменный аппетит к икре и лососине. Кроме Сталина, ему больше всего импонировало общение с Лазарем Кагановичем, который в юности был смазчиком колес и потому мог объясниться по-немецки. С ним они обсуждали вопрос об устройстве послевоенной Германии.

На эти вечеринки всегда приглашалась и я, Муза Победы, как назвал меня в тосте дамский угодник Ворошилов. Я приходила в шикарных, стиля арт-деко, декольте, пила шампанское, хохотала, принимала ухаживания крупнейших гадов человечества. Гитлер робел, не решался ко мне подойти, только издали аплодировал: «Гениальнише, гениальнише фрау!» Он вообще-то всем там до чрезвычайности нравился, хотя с каждым днем все больше накалялись дебаты о его публичной казни. Должна тебе сказать, Такович, что я вовсе не была уверена в том, что все это происходит в реальном времени и пространстве, что все эти жирненькие и в основном низкорослые люди не являются фантомами моего, возможно, сдвинувшегося в результате дикого напряжения моей миссии воображения, или как там, ну ведь ты же писатель, кончай сам дурацкую фразу.

Мы выбрались из-под земли только тогда, когда Гитлер исчез. Оказалось, что после долгих консультаций с союзниками решено было водворить его на прежнее место. Те же летчики люфтваффе отвезли его на «Дорнье» в Берлин и были тут же казнены под крыльями машины. До сих пор скорблю по тем великолепным мальчикам, эталонам арийской расы, скорблю и плачу, мой Такович.

Гитлер, конечно, дал нашим козлам основательные гарантии по свертыванию войны, однако через несколько месяцев в эпицентре ужасающей жары начал сокрушительное наступление на Курскую дугу. То есть опять надул псевдодоверчивого псевдогрузина. Есть все же признаки того, что он до самого конца ощущал себя отчасти нашим человеком. Доверенные люди поведали мне, что в имперской канцелярии был обнаружен его рапорт одному советскому чину, записанный в те часы, когда бункер каждую минуту содрогался от тяжеловесных взрывов и мозги его обитателей были полностью сдвинуты в неопределенных направлениях. Вот что было сказано в рапорте: «Генерал-майору Рюрих от вождя немецкого народа Гитлера. Дорогая геноссе Рюрих, спешу вам

сообщить, что ваше задание выполнено. Злейший враг свободолюбивых народов мира, гитлеровская Германия уничтожена!»

Ты, конечно, понимаешь, что этот рапорт был адресован мне. Интересно, что в нем были не только расплавленные мозги, но и первоклассные агентурные данные. Еще в 1944 году вышел в свет для того, чтобы никогда не увидеть света за пределами «Особой папки», ультрасекретный указ Сталина о присвоении мне звания Героя Советского Союза и чина генерал-майора пограничных войск за блестящее исполнение беспрецедентной операции в разгар Великой Отечественной войны. Чаще всего такие исполнители сразу после исполнения исчезают, но в моем случае все повернулось иначе. После похищения Гитлера наши вожди стали видеть во мне своего рода талисман успеха. Они всячески меня опекают, постоянно награждают своими побрякушками, присылают мне в пакетах свои секретные векселя на крупные суммы. В Политбюро существует негласный кодекс, разрешающий его членам ухаживать за Музой Победы и набиваться в любовники. В данный период в этой роли подвизается Булганин. Эдакий хмырь! Отрастил себе козлиную бороденку и подражает царским сановникам!»

На этом восклицательном знаке Ариадна Лукиановна прервала свой монолог и опустила лицо в ладони. Плечи ее тряслись. Я слышал, как она бормочет: «Ты думаешь, что это все плод больного воображения? Да? Признайся, Такович!»

Признаться я мог только в своем полнейшем замешательстве. «О, Ариадна, конечно, твой рассказ похож на какой-то немыслимый фильм, однако мне хочется верить тебе, хотя бы потому, что я не могу тебе не верить. Ну как я могу тебе не верить? Это было бы полнейшей катастрофой». Так прозвучало бы то, что я хотел ей сказать, на деле же я лишь бормотал сущие бессвязности: «Ну чё ты, чё ты… Ариадна, ну чё ты плачешь… не надо плакать…» И тэ дэ.

Она встала, гордо, с подрагивающим вроде бы от оскорбленного самолюбия подбородком, потянула одну стенку слева направо через всю комнату. Открылась большущая гардеробная, в центре которой висел сшитый ей по фигуре генеральский мундир со звездой Героя и многочисленными орденами. Рядом с этим символом подвига современной Юдифи располагались невесомые, на тонких бретельках, вечерние платья, свисали гирлянды палантинов и шубок. «Ну вот, ты видишь, Волжский, какую жизнь мне приходится вести в обществе оборотней псевдочеловечества. И ты, конечно, теперь понимаешь, почему я к тебе прикипела душою, к такому юному, нищему, к такому, над которым хочется распространить крыло лебедихи!»

Она на миг скрылась за катящейся стенкой и почти в тот же миг явилась в вечернем платье. «Таким мгновенным переодеваниям нас учили в Школе НКВД. Берия приезжал поглазеть на эти экзерсисы женской агентуры. Хохотал, наслаждался. А ты, мой племянник, издеваешься, смеешься над своей теткой!»

«Бог с тобой, Ариадна!» Я вскочил и сделал к ней один шаг. Что за магнит подтягивает меня к ней все ближе и ближе? Сделал еще один шаг. «Когда я издевался, смеялся над тобой?»

Она жалобно и притворно заскулила. «Ты смеешься над моей прической, над моей ханжеской плюхой». Двумя мгновенными, как уколы фехтовальщицы, движениями пальцев она вышвырнула из своих волос две больших шпильки. Накладная плюха упала на пол. Тряхнула своей короткой и очень густой гривкой и окончательно превратилась из советской государственной дамы в игривую подлунную нимфу-шлюху эпохи арт-деко. «Ну запусти свои пальцы в мои волосы, – зашептала она. – Чувствуешь, какие они густые, какие они шелковые и в то же время пружинные, не находишь? Ну что мне делать, Так, если тело отказывается стареть?»

Признаться, я всегда наслаждался своими антресолями в квартире Новотканных. Кроме скошенной крыши, там было еще какое-то странное идеально круглое окно, открывающееся прямо в спину мускулистого бога труда с молотком на правом плече. Сюда, в подпотолочное пространство, стекались все шумки, шепотки, музыкальные нотки и разные вентрологические откровения организмов, в которые я старался не вдаваться. Все это вместе создавало тишину и покой огромнейшей с моей тогдашней точки зрения двухэтажной квартиры. Фактически я ведь находился на третьем.

После возвращения из покоев Ариадны мне долго не удавалось уснуть. Во всей огромной кубатуре в ту ночь присутствовали только три живые души: я, она и он, то есть Фаддей. Именно эта мысль не давала мне уснуть. Снизу до меня доносились бесшумные шаги не очень-то человекообразной обезьяны, мне казалось, что надо мной повисают его страдающие яростью

глаза. Я слышал, как он тихонько, но отчетливо стучится в запертые двери Ариадны, стучится, стучится, стучится, безответно, но с неумирающей надеждой, как будто стук отождествляется с его натурой. Наконец он перестает стучать и медлительно шелестит под антресолями, почти неуловимо, но отчетливо повторяя «я тебя убью, я тебя убью». Я думаю над этой фразой, взвешиваю ее и так и сяк. Он, наверное, хочет себя убить и обращается к себе во втором лице. Ведь не может же так быть, что он задумал убить меня. Вряд ли он дал бы мне знать об этом. Все-таки мне надо быть начеку. Нужно проверить свой арсенал. Начинаю перебирать пулеметную ленту имени великой смертоносной революции. Куда же мне вставить эту ленту, как превратить ее из украшения в оружие обороны? Нужно всунуть ее в какую-нибудь щель, то есть в пулемет морского типа. Однако как я разверну это оружие для отражения павиановой атаки? Стрельба может целиком уйти в мое круглое окно и сразить бога труда. Тот свалится вниз и разнесет в клочья спящую возле дома машину «Хорьх» семижды лауреата Сталинской премии Кирилла Смельчакова. Этот последний даже и не проснется в своем счастливом сне. Вот кому надо подражать – этому красавцу-мужчине. Человек, победивший окружающее страшное пространство. Живет так, как ему говорит душа, и в то же время звучит гордо, как птица для полета; так, что ли? Отпустит ли он этой ночью мою любимую девушку Глику, вернется ли она домой, начнет ли кружение внутри квартиры и в ее окрестностях? Встретится ли с сидящим на грибовидном облаке своим папочкой Ксаверием Ксаверьевичем? Поможет ли им летчица Нюра пробить вековечную атмосферу?

Тут наконец я просыпаюсь, весь в поту, при дружеском и умиротворяющем присутствии Луны. Принимай нить Ариадны, советует она мне. Отправляйся в Звенигород, сторожи дачу, налаживай там потихоньку производство рентгеновского джаза и не забывай о Юрке Дондероне, которому ты обязан все три года его срока подбрасывать табачку.

Прозрачность Ядрана

В течение осени 1952 года Кирилл Смельчаков трижды побывал на Адриатике. Сначала приехал как почетный гость на съезд писателей Народной Республики Албании. Был представлен местному тирану Энверу Ходже. Произвел на того исключительное впечатление. Передавали фразу, сказанную генсеком после обеда с Кириллом: «Хотел бы я, чтобы у меня были такие писатели: ветераны войны, борцы за мир и джентльмены». Эта фраза открыла ему едва ли не зеленую улицу в маленькой, еще недавно полностью мусульманской, а ныне стопроцентно коммунистической стране. Стоило Кириллу сказать, что он хотел бы ознакомиться с албанским побережьем, как в Союзе писателей тут же организовали группу для сопровождения товарища Смельчакова в этом вообще-то полностью засекреченном направлении. Побережье оказалось пустынным, дороги заброшенными. Военные машины, выделенные правительством для писательской экспедиции, поднимали столбы пыли, в которых скрывался сверкающий морской горизонт. Кирилл интересовался, почему не видно ни рыбаков, ни причалов. Ему отвечали попросту: мы со всех сторон окружены врагами, под видом рыбаков к нам могут приплыть югославские ревизионисты. Он спросил, нельзя ли с горных дорог спуститься к кромке моря. Посовещались на своем полностью непонятном языке и решили спуститься. Вода оказалась прозрачной до глубокого дна. Позади нависали почти отвесные пустынные скалы. Такая удивительная прозрачность воды, очевидно, характерна для всего Адриатического моря, предположил он. Да, это верно, с гордостью отвечали албанцы. А что же, вот такие неприступные отвесные скалы тоже характерны для адриатического побережья? Нет-нет, отвечали албанцы, это только нам так повезло. В других местах они не так уж отвесны, не так уж неприступны.

Второй раз он приехал под видом нью-йоркского композитора славянского происхождения в город Бари, на итальянской стороне Адриатики. Его сопровождал личный секретарь и виолончелист Питер Чааппи, тоже нью-йоркер, но итальянского происхождения. Наблюдательный читатель, конечно, сразу догадается, что это был не кто иной, как отборный смельчаковец П. Чаапаев. Итальянцы в отеле не были так уж наблюдательны и приняли их за чету гомосексуалистов. Хихикали у них за спиной. Парочка старалась не развеивать их заблуждений.

В огромном presidential suite с окнами на неспокойный осенний Ядран стоял единственный в городе концертный рояль Steinway. По вечерам они музицировали в стиле только что возникшей минималистской музыки. Они привезли с собой несколько долгоиграющих пластинок гринвичской звезды авангарда Херби Клампенстока. В принципе, играя в минималистском стиле, можно было обойтись и без пластинок, но они на всякий случай пускали их в ход и таким образом играли, что называется, «под фанеру». Впрочем, этот уголовный термин в те годы не был еще в употреблении.

Однажды с моря в панике вернулось несколько рыболовецких – на сардину – суденышек. В прозрачных водах Ядрана прямо под ними прошла темная масса гигантского кита. Поднятая им волна едва не перевернула малые лайбы. На протяжении веков в Адриатике не появлялся подобный нарвал, если только это не была нечистая сила. На набережной теперь постоянно толпился возбужденно жестикулирующий народ. Среди толпы можно было увидеть и двух любопытствующих американцев.

Ночью они при помощи вмонтированной в виолончель радиостанции через Берлин связались с этим китом. Им оказалась подлодка Балтфлота «Ленинские профсоюзы». Она обогнула Европу, прошла через Гибралтарский пролив прямо под килем сухогруза «Нарком Орджоникидзе» и в конце концов вышла на траверз города Бари с опозданием всего на одно сутко.

Баричане в течение нескольких недель обсуждали появление кита-призрака и почти немедленное после этого исчезновение американских музыкантов, явных сатанистов, если судить по исторгавшимся ими звукам. Говорят, что вскоре там причалил сам Херби Клампенсток. Он был опознан по его фортепианным экзерсисам как сатанист, вымазан в дегте, вывалян в перьях и вынесен из города на шесте в лучших традициях его родины.

Кирилл и Петр были подобраны ночью на пляже в десяти километрах к северу от Бари резиновой шлюпкой «Ленинских профсоюзов». Радостно было оказаться на родной советской, хоть и подводной, территории, среди своих, объясняющихся только жестами моряков. В течение трех суток «Профсоюзы» медлительно кружили вокруг главного титоистского гнезда, острова Бриони. На рассветах и на закатах главное око корабля обращалось к бухточкам, пляжам и поросшим ливанскими кедрами спускам этого вроде бы крохотного, если судить по общей карте, а на самом деле вовсе и не такого уж маленького куска суши. Командир то и дело отрывался от наблюдения и передавал перископ Смельчакову. Тот делал нужные ему пометки в своем блокноте рядом со строфами «Тезея». Потом к перископу подходил Петр и производил весьма умелые зарисовки открывающихся видов. Особенно удался пейзаж со спускающимся к воде парком президентского дворца. За купами деревьев были видны даже балконы «кровавой собаки».

Кирилл за спинами наблюдателей садился в кожаное кресло и прикрывал глаза, чтобы эти осточертевшие спины не видеть. Он вообще не любил тесноту, а тесноту подлодки – и в данный момент тесноту рубки – можно было назвать не иначе как теснотищей. С закрытыми глазами он пытался осознать невероятность своей судьбы, которая, словно по заказу, подводила его все ближе и ближе к Лабиринту. Чернота черноты снилась ему во сне, появлялась, когда он прикрывал глаза, возникала по соседству с головой, даже когда он сидел с капитаном и помполитом в крохотной кают-компании. Академик Новотканный Ксаверий Ксаверьевич в своих логически построенных догадках был, конечно, не прав: Минотавр – это не Сталин. И, уж конечно, не американская военщина. Вообще Минотавр – не метафора, это просто неизбежность и неотвратимость. Это антитеза моей любви, моей звезде-надежде, антитеза Глике, в самом имени которой чувствуется вспышка света. Впрочем – признайся, диверсант! – даже и в этой тезе ты уже замечаешь некоторое скопление антитезы. Девушка приходит к тебе почти ежедневно, часто и еженощно, вы ложитесь в постель и совершаете половые акты, один за другим, и так и сяк… вот когда в ней проснулась дочь Ариадны… или по крайней мере ее сестра Федра… во всяком случае, ненасытная подруга Тезея… увы, все реже в этих актах возникает небесный восторг, все чаще партнеров одолевает прямая физиология, поддон телес, иной раз там мелькает даже ухмылка черноты.

Я чувствую, что она, отдаваясь мне, страдает о другом, что, как это ни парадоксально, Ланселотом в ее душе становится подозрительный Жорка Моккинакки, тот, кто был у нее первым. Как это ни странно, не со мной у нее связывается девичья мечта, а с циничным и наглым

трахальщиком Жоркой. Мне мнится, что, страдая о нем, она поднимается на какую-то высоту; недаром он впервые появился перед ней в гидроплане.

Мне нужно отобрать у него вооружение Ланселота. Это касается, может быть, не только Глики, но и меня самого как поэта. Я должен совершить подвиг и уйти в неизвестность. Может быть, вернуться оттуда, а может быть, и нет.

- Стопа Тезея не знает ступеней,
- Не посвящен он и в таинства букв,
- Однако он слышит безбрежное пение
- И налетающий грохот подков.

Почему именно меня избрал своим окончательным другом окончательный тиран? Уничтожитель рода человеческого, какого черта дался тебе поэт? Может быть, он сатанинским чутьем распознал мои утопические бредни, образы неоплатоновского града? А может быть, просто ему положили на стол агентурную сводку? Недаром ведь после возврата Эсперанцы мне дали ордер на вселение в высотный дом. Нет, вульгарной слежкой этого не объяснишь. Должно быть, все-таки он что-то почувствовал, когда читал тот сборник «Лейтенанты, вперед!». То есть уловил самую мощную мистику войны, мистику атаки? Почувствовал метафизику главного клича войны «За Родину, за Сталина!»? Может быть, он опален огнем самого невероятного в истории жертвенника людей? Может быть, ждет славы от богов за столь щедрые жертвы? Может быть, он понимает, что я, куря ему фимиам, подспудно жажду его смерти? Может быть, он, как и я, уверен, что восстанет в большевистской Валгалле как новый бог, как зачинатель еще неведомой нам религии? Быть может, даже сейчас, после уничтожения деятелей Антифашистского еврейского комитета, перед задуманным им окончательным решением еврейского вопроса в СССР, он в глубине своей черной сути, то есть в черноте черноты, верит, что он умрет не так, как умирает простой одряхлевший таракан?

Так почему после стольких вопросов я выполняю все его приказы: занимаюсь брехологией на конгрессах в защиту мира, обманом японских трудящихся масс и вот плыву сейчас на подводном пирате и выбираю через перископ, где мы взорвем ошеломляющий фугас, откуда откроем минометный огонь, по какому спуску мы начнем подъем, и решаю, сколько будет задействовано бойцов, полсотни или все сто, чтобы устранить его самого злостного врага, партизанского маршала Тито? Ответ один – потому, что я сталинист! Я не верю в то, что столько миллионов людей было уничтожено просто так, включая и моего отца. В этих жертвенниках рождается новая религия; что же может быть еще, как же может быть иначе? Я устраню Тито, но потом я приду к нему и сделаю его жертвой его жертв; пусть подохнет со славой! Вернее, мы оба.

Обогнув несколько раз Бриони, они пошли в подводном положении на север. Несколько раз поднимали перископ на траверзах группы пустынных островков, где УДБ устроила страшные концлагери для арестованных «сталинистов»: Крк, Пытвич, остров Раб… Особенно их интересовал Голый Оток с его заминированными шахтами. Там томилось немало видных партийцев и военных, включая генерала Полянеца. Именно там после завершения операции на Бриони должно вспыхнуть антититовское восстание. Там и будет создано ядро будущего правительства.

Завершив свою весьма полезную рекогносцировку, «Ленинские профсоюзы» вошли ночью в большой и в значительной части еще заброшенный после бомбардировок Второй мировой войны порт Триеста. Там, на корабельном кладбище, подлодка высадила двух своих пассажиров и отправилась на юг, в албанский порт Дураццо, где ей предстояло ожидать соответствующего приказа.

Замысловатая цепочка и каменный треугольник

К открытию Девятнадцатого съезда ВКП(б) в Москве установилась идеально-декабрьская погода. Днем без остановки валил мокрый снег, народ на Горького без устали месил калошами и ботиками «прощай молодость» привычную кашу песка и снега, ночью прочищались небеса, проносились в них предварительные морозы, тротуары и мостовые схватывались гололедицей, народ косолапил, подворачивал ноги, плюхался, кому повезет, на «пятую точку», то есть на спасительные амортизаторы задницы, но чаще носом вперед или боком с переломом или

растяжением, ну а автотранспорт раскручивался на поворотах и юзом вляпывался либо в столб, либо в стенку; ездить практически было нельзя, если ты не был счастливым обладателем шипованной резины, а достать оную было невозможно никому ни за какие деньги, будь ты хоть семижды лауреатом Сталинской премии. Впрочем, он доставал.

В час между волком и собакой, в сумерках мокрой грязи, в преддверии чистого льда Кирилл Смельчаков шествовал по любимой столице в своем американском верблюжьем пальто «Гетц» и в итальянской фетровой шляпе «Сассикая» и думал думу, довольно привычную для всей советской международной агентуры: «Ну как можно жить постоянно в нашей стране? В нее даже на короткие сроки приезжать не очень возможно. Я представляю, как сейчас в адриатическом городе Бари под вечерним бризом хлопают тенты открытых кафе, как собираются люди вокруг фонтана. Если может быть у советского человека мечта, то давайте выскажем ее до конца. Хорошо бы взять свою девушку, некую Глику, и с нею сбежать из Москвы навсегда в тихий приморский Бари!»

Едва лишь эта мечта советского человека была высказана до конца прямо под повисший в унынии нос, как сзади кто-то знакомый густо произнес:

«А почему бы нам с тобой не выпить, Кирилл?»

Он оглянулся и даже не удивился, увидев сгорбившегося под меховым воротником Жорика Моккинакки. Грустью отсвечивал один его глаз, второй полыхал улыбкой.

«А почему бы и нет? – хохотнул Кирилл. – Какие есть предложения?»

И в самом деле – почему бы не выпить в такой заунывный час где-нибудь в сводчатом народном подвале или хотя бы в шоферской столовке, где некогда, то есть совсем недавно, прятались с Эсперанцей?

Безопасное место находилось, как ни странно, прямо напротив, через площадь от органов пролетарской диктатуры, общеизвестной Лубянки. Шоферы шумели матерными выражениями, создавая уют. Запах состоял из смеси пивных дрожжей, микояновских котлет, папирос-гвоздиков «Север» (бывший «Норд»), наваристой селянки и разделанной воблы, слегка напоминающей окаменелости скифских курганов. Водкой тоже пахло, однако справедливости ради следует отметить, что не было там ни малейших признаков рыгаловки.

Бывшие полярные друзья попросили хорошо знакомую администраторшу разместить их в «нише», то есть в некотором углублении грубо покрашенной стены под всем известным шедевром художника Решетникова «Опять двойка». Заказ, который они там сделали, говорил сам за себя и за крепкие мужские качества заказчиков: отменных размеров сельдь «залом» в кольчуге из кружков узбекского лука, бутыль «Московской особой», то есть 56-градусной, и полдюжины «Двойного золотого» в витых бутылочках темного стекла. По прибытии этого добра возникла атмосфера специфического запьянцовского уюта, на которой еще держалась вконец измученная большевиками Россия.

Кирилл с интересом смотрел на облаченного в партийный френч Жоржа. За ним, очевидно, идут по пятам. В глазах присутствует некоторая загнанность. Углубились вертикальные морщины щек.

«Что же ты мне ничего не рассказал о своей отягощенной биографии?» – спросил он.

Жорж усмехнулся, вынул коробку «Казбека», со смаком закурил здоровенную штуку: явно косит под номенклатуру. «Да ведь ты, Кирилл, ничего не спрашивал, а мне было не до этого. Как, впрочем, и тебе тогда, „когда нам с тобою сквозь дым улыбались ее голубые глаза“. Согласен?»

«Ты все-таки расскажи, что произошло у тебя со Сталиным после льдины и куда ты пропал, – предложил Кирилл. – Но прежде я хочу тебе задать еще один вопрос. Надеюсь, ты не думаешь, что это я навел на тебя чекистов?»

«Нет, не думаю, – с серьезной суровостью ответил Жорж. – Все, очевидно, произошло случайно. А теперь слушай про Сталина. Тогда, в сороковом, нас, „коминтерновцев“, привезли на празднества в Кремль. Ты там был, я видел тебя в толпе журналистов. Потом журналистов попросили на выход, а героев пригласили в банкетный зал. Еще на церемонии я заметил, что Сталин как-то странно на меня поглядывает. Как будто что-то ему покоя не дает в моей внешности. Спрашивает что-то у Берии, показывает подбородком на меня. Потом, уже за столом, все время посматривает с каким-то даже вызовом. Не обижайся, Кирилл, но что-то в нем тогда было от урки, некая угроза, вроде „А я тебе пасть порву!“. Я за него тост поднимаю, а он не верит,

прищуривается и опять что-то Берии шепчет. Короче говоря, меня взяли сразу на выходе из Большого Кремлевского дворца. Навалилось не менее пяти туловищ. Защелкнули железа на руках и ногах. Целый день лупили по-страшному. Не знаю, как я сразу не отбросил копыта».

«Жорж, ты же знаешь, что существует особая методика неубивания», – проговорил Кирилл, глядя на лежащую между ними селедку.

«Тогда еще не знал, – хмыкнул Жорж. – В комсомоле мы этого не проходили. Короче, им удалось превратить меня в жалкую, дрожащую тварь. Я подписал весь бред, который они тут же с гоготом накатали своими палаческими пальцами. Швырнули в клетку. Потом возле клетки появилась группа вождей, те самые, что приветствовали в Кремле „героев ледяной блокады“. Я крикнул тогда в отчаянной надежде: „Товарищ Сталин, ради вас я готов на все!“ Послышался приказ: „Откройте клетку!“ Они вошли всей кучей внутрь и стали меня топтать. Сознание то пропадало, то возвращалось, в один момент мне показалось, что кто-то из них сказал: „Отправьте его в Кандалакшу, пусть сдохнет сам“…

«Ты уверен, Жорж, что это тебе не приснилось?» – спросил Кирилл и подумал, что этот вопрос может показаться Моккинакки чудовищно подлым. Поднял глаза от селедки к его лицу. Вдруг заметил то, чего раньше не замечал: большие пушистые усы, на голове вместо лысины белобрысый чуб. Похож скорее на архангельского помора, чем на крымского грека. Вот это класс мгновенного преображения! «Помор» подмигнул с какой-то странной веселостью.

«Уверен, Кирилл. Мне продавили ребра под левой лопаткой. Во сне такого не бывает».

«Ты понимаешь, что мне это важно знать».

«Знаю, что важно, но не знаю зачем. Впрочем, догадываюсь».

«Ну что ж, выпьем?»

«Выпьем за Родину, выпьем за Сталина! Выпьем и снова нальем!»

«Между прочим, эти стихи написал очень хороший поэт».

«Я знаю. Они во многом передают нашу послевоенную эйфорию».

«Так что же было в Кандалакше?»

«Там, в том огромном лагере в Кандалакше, я сообразил, что бухгалтерия убийств у них в очень херовом состоянии. Например, в лагерном госпитале я был записан среди жмуриков, а на самом деле я поправлялся. Меня там прелестная молодая хирургесса врачевала, сама удалила мне выломанные и уже гниющие ребра под левой лопаткой, в общем, спасла. Ее мужа, тоже военврача, куда-то заслали, то ли на Колыму, то ли в Европу, вот она меня и спасла».

«Случайно не Надя Вересаева ее звали? Нет? И то хорошо, а то я бы подумал, что мы с тобой живем по закону тождества».

«Она как-то вписала меня не совсем так, как я значился по спискам гэбэ, кажется, заменила М на Ш, то есть оживила жмурика и устроила подсобником в санчасть. С новыми ксивами у меня появился шанс уцелеть. Однажды моя спасительница пошла на крайний риск – отдала мне старую шинель своего мужа, его хромовые сапоги и фуражку с голубым верхом. В этом маскараде я прошел за зону, сел в поезд и уехал в Москву.

Слава нашей великой советской секретности! Никто в Главсевморпути не знал, куда я пропал. А также слава нашим советским женщинам, особенно тем, которые еще любят мужчин. Уж тебе-то, Кирилл, их ли не славить! Я предъявлял им выписку из истории болезни как свой основной документ, травил всякие байки про аварии, про кражу чемодана, про жуткий Север, где все уносится ветром. Все они знали меня только как героя с многомоторника «Коминтерн» и свойского разбитного парня. Однажды одна такая девчонка налетела на меня в коридоре главка. Ой, Жорка, там у тебя неправильно фамилия записана, вместо Моккинакки стоит Шоккинакки. Что будем делать? Ну, Ниночка, ты знаешь мою фамилию, правда? Ну вот и впиши ее так, как знаешь, в трудовую книжку. Так я снова стал Георгием Моккинакки…»

«Послушай, Жорж, а почему ты так откровенно все это рассказываешь? Да еще кому? Своему сопернику!»

«По ряду причин, Кирилл. Ну, во-первых, мне кажется, что Глика нас не разъединяет, а сближает. Ведь она наш общий идеал. В конце концов она выберет кого-то из нас, или найдет кого-то третьего, или не выберет никого, все равно и для тебя, и для меня она останется ярчайшим проявлением жизни. Во-вторых, мне кажется, что мы, то есть вся страна, стоим на краю

каких-то невероятных событий, после которых откровенность будет больше цениться, чем скрытность. В-третьих, я потерял страх. Это понятно?»

«Более или менее. Ну что ж, может быть, продолжишь свою одиссею? Ведь в ней уже идет сорок первый год, вот-вот начнется Отечественная война. На каких участках фронта ты побывал? В каких операциях участвовал? Где ты стал Штурманом Эштерхази?»

«Это ГРУ тебе подготовило такую ориентировку?»

«Представь себе, Жорж, я сам это вычислил. Ни ГРУ, ни МГБ не объединяют Моккинакки и Эштерхази. Последний считается европейским продуктом».

«Скажи, Кирилл, а ты помнишь такого Крамарчука Остапа Наумовича, который однажды, то ли в марте, то ли в апреле, пригласил тебя заглянуть во Всесоюзное агентство по авторским правам?»

«Как я могу помнить человека, которого никогда не видел? Помню только голос, похожий, между прочим, на твой, Жорж. От такого голоса, ей-ей, любая баба задрожит. Ну а мужчина к такому басовитому, естественно, проникнется доверием. Особенно тогда, когда тот налегает на выражения типа „батенька мой“.

«Ну, кажется, Кирилл, ты уже почти догадался, что это был я».

«Знаешь, Жорж, со стороны контр-адмирала Моккинакки было довольно рискованно вселяться в высотку. Ведь среди ее жильцов есть люди, которые знают это лицо не иначе, как юрисконсульта Крамарчука Остапа Наумовича».

«Кирилл, ты, наверное, заметил, что я с сорокового года обвенчался с опасностью и никогда уже с ней не расстаюсь».

«Звучит слишком высокопарно, Жорж, но в принципе это так».

«Итак, Кирилл, мы подходим к самой главной теме нашей встречи над селедкой „залом“.

«Ко второй по важности, Жорж, мон ами».

«К степеням важности, Кирилл, мы вернемся, когда будем расставлять точки над і. Сейчас мне хотелось бы узнать, как ты вычисляешь чемоданчик со сталинскими векселями?»

«Вот тут, Жорж, для меня больше тумана, чем ясности».

«Ну хорошо, Кирилл, идем теперь прямо в лоб, без всяких экивоков. Тебя должны были подвергнуть шантажу и с этой целью обратились к юрисконсульту Крамарчуку Остапу Наумовичу».

«И он, этот умудренный жизнью мужчина, согласился участвовать, вернее, даже играть главную скрипку в шантаже. Почему, Жорж? Ведь мы все-таки когда-то вместе бесились на льдине от комсомольского счастья под символом нашей родины, звездой Арктур. Почему ты готов был меня погубить?»

«Потому что я ненавидел тебя, считал своим врагом. А как, Кирилл, должен был относиться к кумиру этого общества враг этого общества, который жив только на обмане этого общества?»

«А что же изменилось, Жорж? Почему ты сейчас все это мне, извини, выбалтываешь? Еще один шантаж?»

«Верь не верь, Кирилл, но я перестал считать тебя врагом. Все изменилось благодаря Глике. Я увидел, что ты любишь ее так же беззаветно, как я. Даже ревность способствовала дружескому чувству к тебе. Наверное, он все-таки классный парень, если она тянется к нему, думал я, и, уж во всяком случае, настоящий поэт, если она не может расстаться с ним даже ради донжуанствующего Штурмана Эштерхази».

«Ну хорошо, Жорж, давай поверим в эти сказки. А теперь вернемся к векселям. Это, конечно, фальшивые бумаги?»

«В чемоданчике, Кирилл, лежат три варианта: утонченно фальшивые, грубо фальшивые и настоящие вексельные билеты секретной секции Центрального банка СССР».

«Стало быть, Жорж, готовы были векселя на три варианта расстрела, не так ли?»

«Во всяком случае, Кирилл, с третьим вариантом ты можешь проходить прямо к президенту любого большого банка мира и предъявлять вексель к оплате».

«До расстрела или после, Жорж?»

«Вместо, Кирилл».

В этом месте мы должны прервать этот диалог, чтобы дать джентльменам возможность выпить и закусить. Итак, твердой рукой наполняются два граненых стакана, то есть по 175 граммов 56-градусной «Московской особой». Другая твердая рука выливает в толстостенные кружки две бутылки «Двойного золотого». Две твердых руки одновременно поднимают граненые стаканы

над столом и стукают их друг о дружку, создавая видимость дружеского выпивона. Головы запрокидываются, влага вливается, внедряя выше указанные градусы в и без того горячие кровотоки. Немедленно возникает желание «отлакировать», и пивные кружки опорожняются до дна. Мощно, безапелляционно, нормально. Передовые резцы наступательных челюстей не без некоторого скрипа нарушают целостность коричневых от долгого засола бочковых огурцов. Языки метут, отбрасывают сочные до отвратительности куски на размол коренной гвардией. И наконец приближается апофеоз закусона, услада нёба, почти не существующая дореволюционная рыба «залом». Блаженство завершено. Диалог возобновляется.

«Ну, что же, Жорж, может быть, намекнешь, кому я понадобился для шантажа?»

«Если бы я знал, Кирилл, так прямо бы и сказал, без всяких намеков. Однако там такая, как мне кажется, запутанная цепочка, что назвать окончательного заказчика просто невозможно. Можно только догадываться, что с твоей помощью хотят выйти на того, с кем ты по ночам пьешь коньяк „Греми“.

«Так вот оно что, Жорж! Вот, значит, для чего тебя подселили на восемнадцатый этаж! Осмелюсь спросить, ты сам подслушивал или только аппаратуру включал?»

«Ни то, ни другое, Кирилл. Этим, конечно, другие люди занимались еще на Кузнецком мосту, где ты упрятал свою звезду Эсперанцу».

«Так в чем, Жорж, должен был выразиться шантаж?»

«Очень просто, Кирилл. В один прекрасный день к тебе приходят вроде бы с ордером на обыск. Находят векселя, которые тебе с какими-то неопределенными целями были доставлены из-за границы, вроде бы из Лэнгли, Вирджиния, каким-то международным агентом, ну, скажем, неким Штурманом Эштерхази. Угрожают пытками и расстрелом, если ты не выведешь их на твоего хмельноватого ночного друга. Если же ты выполняешь требования, тебе гарантируется безопасный выезд в любую страну по твоему выбору. Естественно, вся сумма векселей остается за тобой».

«Включая и липовые бумаги, Жорж?»

«Боюсь, что так, Кирилл».

В этом месте мы снова делаем перерыв, чтобы повторить все то, что имело место в первом отступлении от диалога. Следует только добавить, что на этот раз выпивон с закусоном завершился взрывом обоюдного хохота. Мужчины хлопали друг друга по плечам, тянули за нос и даже, склонившись над столом, сошлись лбами. Взрыв был настолько ярок, что таксисты, заступающие в ночную смену, преисполнились зависти. Во, отдыхают мужики, а нам еще всю ночь горбатить!

«Ну а почему же это до сих пор не произошло, Жорж?»

«Хочешь верь, хочешь не верь, Кирилл, но только потому, что я стал водить их за нос. Сначала сказал, что тебя как поэта вообще мало интересуют деньги, что ты за несколько месяцев даже не удосужился открыть вааповский чемоданчик. Потом сказал, что, открыв, ты решил, что это просто-напросто облигации государственного займа. Потом, когда кто-то поведал тебе финансовую тайну векселей, ты просто-напросто швырнул чемоданчик с моста в реку. Кажется, я и сам попал под подозрение той замысловатой цепочки, однако мне было уже на все их ухищрения наплевать с высокого дерева. Я вдруг попал под очарование этой вашей, то есть я хотел сказать – нашей, высотной аристократии. Подумать только, люди живут в этом великанском доме какой-то совершенно нормальной, безмикробной жизнью!

Ксаверий зарабатывает на хлеб насущный, Ариадна создает эстетику дома, Глика занята произрастанием своей красоты и мечтами о будущем. Слуги хлопотливо и старательно занимаются ежедневными заботами. По соседству живет одинокий патриций, он беседует с дочерью о высоком. И хотя я знал, чем зарабатывает Ксаверий, и слышал кое-что о прошлом Ариадны, и отлично понимал специфику спецбуфетовцев, а уж о патриции из корпуса защиты мира и говорить нечего, милостивый государь, все-таки весь этот быт ярчайшими вспышками чистоты освещала непорочная дева социализма. И коммунизма, который, конечно, не за горами. Помнишь эту хохму армянского радио, Кирилл: «Коммунизм нэ за горамы, а мы ЗА горамы»? И вот въезжает, опять же по соседству, нестарый и холостой контр-адмирал, ну и начинается нормальная человеческая драма под кодовым названием «любовный треугольник». Я просто наслаждался нормальностью ситуации. Ну что, неужели я не могу употребить хотя бы небольшой

кусочек своей хронологии для нормальной человеческой жизни? Не выживать, не спасаться, не мимикрироваться, не пятнать все вокруг лапами загнанного монстра, а просто пожить, как Евгений Онегин, как контр-адмирал, как владелец гидроплана, как влюбленный Ленский наконец?»

«Это здорово, Жорж, и Онегин, и Ленский, и следы, очевидно, мокрые, лап загнанного монстра, да ты просто любопытный поэт, мон Жорж! Наверное, это твою песенку нередко напевает Глика:

- Видишь, он прошел все испытанья
- Под высоковольтною дугой!

Ну признайся! А вот скажи, одинокому-то патрицию какая зарезервирована роль в этой нормальной человепческой (не опечатка!) жизни? Скорее Ленского, ты говоришь? Или Онегина, ты говоришь? Давай суммируем: ты скорее Онегин, но и Ленский, одинокий патриций – скорее Ленский, но и Онегин. Ну а Глика-то Новотканная кто: Татьяна, или Ольга, или скорее то, чем другое? И кто кого убьет вообще-то, если все не перепьются, ваше превосходительство? А между прочим, что по этому поводу думает «замысловатая цепочка»? Не высказывается ли слегка в таком, скажем, духе: «Никакви проблема никад нитко имати приже нова година опросите»? А что же наш хмельноватый-то ночной друг? Сидит себе и раздувается коньяком в ожидании устранения, так, что ли?»

На этом, собственно говоря, диалог двух друзей-соперников можно считать законченным. Остальное свелось к малосвязному бормотанию, вспышкам хохота, юмористическим движениям, легким заиканиям и громогласным иканиям. Администрация была посажена на колени сначала Онегину, потом Ленскому или наоборот, увы, не сразу к обоим, не ко всем четырем. Все остальные в темпе осушали третью тару 56-градусной, рассовывали по карманам сигареты и зажигалки; пора сваливать!

«Где вы берете такие заломы, уважаемая Дора Валерьяновна?»

«Ах, мальчики, откуда же еще, если не из кремлевских источников!»

Держась друг за друга, они вышли в сплошной, хоть и косой, в смысле диагональный, снегопад, если так можно сказать о полностью распоясавшемся и оскорбительном для нормального человепческого смысла явлении природы. Возле столовой, оказывается, дежурил милицейский патруль, два олуха на ногах плюс еще один на олуховидном мотоцикле с олухоидной коляской.

«Подошли сюда, мущыны! – скомандовал старшой. – Показали паспорта!»

Чтобы удержаться на ногах, Моккинакки слегка навалился коленом на мотоцикл. Вместо паспорта он предьявил красную книжечку. Старшой заглянул в нее и тут же взял под козырек: «Желаем всего наилучшего, товарищи!» По всей вероятности, фильтровали народ попроще.

Пока шли с наклоном вперед, упираясь в диагональный снегопад, оба товарища, не сговариваясь, желали себе побыстрее отрезветь, то есть всего наилучшего. Предстояла важная операция, вытекающая из содержания недавней беседы. На площади Ногина одиноко стоял огромный довоенный ЗИС-101. Жорж подошел к шоферской двери, стал сбивать ледяную корку с ключевого отверстия. Кирилл рукавом сметал снег с хвостового номерного знака. Увидев буквы и цифры, присвистнул: «Ничего себе, товарищ Шоккикакки, передвигаетесь на машине МВД!» Влезли оба в просторный, пропахший табачищем салон. Жорж попытался запустить мотор. Без толку. Вытащил подсос, прокачал педали сцепления и газа. Еще раз повернул ключ. Бесполезно. «Вы так аккумулятор посадите, товарищ Эштерхази». Упомянутый дважды под разными кликухами товарищ полез под сиденье и вытащил заводную ручку. «Придется вам покрутить, товарищ семижды лауреат». Кирилл взял ручку и вылез в гадский, все усиливающийся снегодап. Не удержался от соблазна сказать в полуоткрытую дверь: «Черт бы вас побрал, товарищ блядский юрисконсульт Крамарчук!»

Крутанул раз, другой, третий. На четвертый «зисок» бешено взвыл и мощно затрясся, демонстрируя вполне устойчивые обороты. Влез обратно в салон. Там уже беспорядочно трещала печка. «Дворники» счищали оплывающее обледенение. Медленно поехали вниз, к набережной Москвы-реки. Там повернули налево. Остановились под мрачными сводами Большого Устьинского моста. Сквозь снегодап то тут, то там на всю высоту светились уютные окна яузского гиганта. «Итак, мы оба полностью отрезвели, – сказал Жорж. – Я жду тебя здесь ровно полчаса. Сверим часы. Отлично. Через полчаса решаю, что ты передумал, и немедленно уезжаю».

Кирилл быстро перебежал пустынную набережную и медленно, вроде бы рассеянно, вроде бы весь погруженный в творческие мысли, прошел через центральный холл к лифтам. На 18-м царила

вполне зловещая тишина. Он вдруг вспомнил, что завтра предстоит прибыть на пленум XIX съезда нашей родной партии. Открыл дверь своей квартиры. Ударил кулаком промеж рогов стоявшего в прихожей черного быка. Тот медленно ушел в гостиную. В спальне горела ночная лампа. Там в кресле с книгой сидела облаченная в свитер с полярными оленями Глика. В постель не залезла. Она любит, когда я ее сам раздеваю. Подняла голову, увидела меня, глаза ее вспыхнули. Или это лампа так отсвечивает? Отшвырнула книгу. «Вот муть бездарная!» «Что это?» «Кавалер Золотой Звезды». Нас учат писать рецензии на новинки литературы».

Он взял с полки для отвода вспыхнувших глаз стихотворную рукопись, сложил вдвое и сунул в карман. «Мне надо еще спуститься вниз, Глик. Там Костя ждет в своей машине. Хочу ему прочесть „Тезея“. Вернусь через полчаса».

«Смотри – не дольше, а то уйду к Таковскому!»

Ах, эти жесты: взъерошила свои волосы, откинула их назад, новая вспышка, на этот раз вспышка-улыбка-уловка; как будто уже подо мной.

«Скорей погибну, чем отдам тебя Таковскому!»

По дороге к дверям он заглянул в кладовку и вытащил там из кучи старья предмет, получивший уже кодовое название «вааповский чемоданчик».

Снегопад восстановил орфографию, то есть вроде бы уже перевалил за свою максимальную фазу. Лучше стала определяться линия фонарей на мосту. Под мостом было пусто. По часам я отсутствовал всего 25 минут. Значит, Жорка опять крутит свои финты? Значит, надо быть сейчас, вот именно в следующую минуту, готовым ко всему. Он перенес чемоданчик из правой руки в левую, а правую опустил в карман пальто к успокаивающим гладкостям пистолета. Моккинакки вдруг появился, словно бы из ниоткуда, махнул рукой. Оказывается, он перестраховался и загнал машину за бетонную опору моста.

«Откуда у тебя этот „зисок“, Жорка?» – спросил, подходя, Смельчаков.

«Все очень просто, – ответил Моккинакки. – Устроился шофером в „почтовый ящик“. Жить-то надо. Вожу начальника».

Они залезли внутрь мастодонта. Теперь он жужжал, как пчелка. Было тепло без всякого шума и треска. Жорж включил крохотную лампочку, открыл у себя в ногах «вааповский чемоданчик» и стал деловито, почти не глядя, почти на ощупь отбирать настоящие брикеты десятитысячников от поддельных; иными словами, отделять жемчуг от плевел. Все отобранные брикеты он собрал в кучу и положил в затрапезный солдатский вещмешок. Из собственного кармана вынул еще один брикет.

«А это то, что я у тебя когда-то брал в долг. Все цело, тут миллион».

«Значит, ты тогда не для дяди в Узбекистане старался, Жорж, а для замысловатой цепочки?»

Моккинакки дружески усмехнулся. «И для дяди в Узбекистане работал, и для замысловатой цепочки. Но это все в прошлом, Кирилл, сейчас мы работаем для себя».

«В каком смысле „мы“, Жорж, и в каком смысле „для себя“?»

Моккинакки тряхнул худобой вещмешка. «Ты знаешь, сколько здесь? Пять. По курсу восемь в зеленых. Хватит нам всем троим, чтобы устроиться в жизни. Где-нибудь на Адриатике. Конечно, на итальянском берегу, где-нибудь в Бари. Ты там бывал? А может быть, лучше будет с другой стороны сапога, в Лигурийской части Межземельного моря, ну, скажем, на дикой Сардинии? Ты там бывал?»

Смельчаков покуривал, поглядывал на часы, а сам внимательно вслушивался в разговорные ловушки, расставляемые Моккинакки. Что это значит? Знает ли тот о подводной экспедиции вокруг Бриони? Или только слышал о приезде двух музыкантов в Бари? Вместо ответа на географические вопросы он задал вопрос по существу: «Что это значит „всем нам троим“, что это за компания?»

Жорж ответил с печальной и очень искренней улыбкой. «Ну как же, Кирилл, ведь несмотря на все игры разных „замысловатых цепочек“ нас троих связала судьба. Ты будешь жить там со своей суженой, а где-нибудь в стороне, но неподалеку будет жить третий, твой, так сказать, полярный брат, а ее вздыхатель, который прошел все испытания под высоковольтною дугой. Таких вариантов ведь было немало в мировой литературе, достаточно вспомнить Тургенева и супругов Виардо. Не так ли?»

«Ну хорошо, – сердито пробурчал Кирилл. – Давай прежде всего покончим с проклятым „вааповским чемоданчиком“. Устраним элемент шантажа и тогда поговорим о любви».

Они вышли из мастодонта с чемоданчиком, наглухо закрыли все двери и зашагали к парапету. Река, которая еще недавно сверкала всеми дейнековскими красками, теперь представляла мрачнейший Стикс. Плыло по ней ледяное крошево, местами сплошное ледево тормозило поток, над стремнинами черной воды колебался пар. Размахнувшись твердой рукою в перчатке, метнул Смельчаков чемоданчик царю ВААПу в пасть. Как ни странно, тот не утонул. Проехался по ледяному и остановился, притулившись к скопившемуся горкой крошеву. И так поплыл вниз по течению и вскоре скрылся из глаз.

«Скоро утонет, – утешил Кирилла Жорж. – Намокнет, набухнет и пойдет ко дну. Долго будет висеть между поверхностью и дном, то влекомый течением, то неподвижный, годами в заводях русской реки. Обрастет илом и потащит за собой бороду до самого Каспия. Если бы я был композитором Херби Кламбенстоком и выловил бы это чудище вместо стерлядки, я сочинил бы под этим влиянием фортепианную пьесу „Шантаж“.

«Пошел ты к черту, Жорж! Ну что тебе надо от меня?»

«Только твой ответ на один вопрос, а без него я не проживу и недели. Скажи, это правда, что твой хмельноватый ночной друг, которого в той замысловатой цепочке, ну той, что ты вычислил даже на сербско-хорватском, называют как-то иначе, перестал доверять своим органам – то печень ноет, то суставы вздуваются, то сердчишко ёкает от любви к человепчеству – правда ли, что он создает особый отряд так называемых „смельчаковцев“?»

Кирилл молча поставил локоть на парапет и пригласил Жоржа к единоборству. Соединив ладони в железном зажиме, они стали испытывать силу своих предплечий. Сила, однако, нашла на силу. Мускульный треугольник превращался в камень. Каменели и силовые улыбки. Цвета глаз, устремленных друг в дружку, сгущались: голубой становился синим, кофейно-бобовый превращался в жареный каштан. Не видя исхода дурацко-дружбанскому спору, Кирилл произнес: «Жаждешь ответа? Изволь! Все это бред и неправда». Зажим распался. Жорж комично подул на свою лопату. Кирилл с неменьшим комизмом повращал кулаком. «Вот это и есть ответ, которого я жаждал, – сказал Жорж. – Теперь я жив».

«Пока», – сказал Кирилл и пошел к своему чертогу.

«Пока, пока», – ответил Жорж и положил в карман Кириллов «вальтер», создав таким образом для своего кармана двойную тяжесть. Подумал секунду и крикнул вслед: «Эй, ты не будешь возражать, если я приглашу Глику в консерваторию?»

Кирилл запнулся на ходу и медленно повернулся. Между ними теперь кружились крупные снежинки. Наплывала какая-то типично-московская осенне-весенняя нота. Он пожал плечами: «Почему бы нет? А что там дают?»

«Три последних квартета Бетховена», – был ответ.

Б.П.А.П. в О. (все встают)

Девятнадцатый съезд ВКП(б) во многом отличался от предшествующего Восемнадцатого. Во-первых, вожди партии основательно постарели. Это бесило многих делегатов. Природа жизни все-таки сволочь, думали они. Неужели не понимает, что это противоречит природе вещей? Во-вторых, отчетный доклад делал не Сталин, а Маленков. Этот последний противоречил своей фамилии: жирное тело выходило за размеры трибуны. Сталин сидел в ложе президиума, чуть на отшибе от остальных членов. Среди делегатов находились люди, которые сомневались, что это сам Сталин. Они ошибались.

Мало кто знал, что за кулисами съезда происходят довольно странные события. На предсъездовском закрытом пленуме ЦК собрание рыл показалось Сталину сомнительным. Почему-то было мало знакомых. Каким образом на уровень пленума ЦК поднимаются незнакомые рыла? В общем-то, неплохо поначалу разыгрывался театр «бурные аплодисменты, переходящие в овацию». Рыла вроде бы сияли энтузиазмом, излучали любовь к руководящему органу. Она (любовь), как и полагается, возникала в глубине, и нарастала, и, нарастая, материализовывалась в «возгласах с мест» (чрезвычайно важная деталь – возгласы никогда не

должны перерождаться в крик, тем более в вопль, а еще более в во! пли! в пливопы, в вопляпы и прочую недопустимую абракадабру). Сначала все шло вроде бы пристойно. Малознакомые рыла, как полагается, возглашали: «Да здравствует Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза!» (так возникала новая историческая аббревиатура, уже без всяких скобок), «Да здравствует наш великий вождь товарищ Сталин!», «Да здравствуют бурные аплодисменты, переходящие в овацию!»… Все шло ровненько в рамках сложившейся традиции, пока вдруг какой-то товарищонок с белорусскими чертами лица, подрыгнув, чтобы заметили, не испустил крик, переходящий в воопплл: «Да живет великий Сталин вечно!»

Началась вакханалия криков и воплей: «Вечно! Вечно!» Что это за мистика – вечно? Эти малознакомые рыла, наверное, думают о его смерти, постоянно переглядываются, может быть, даже шушукаются. Он нахмурился и вперил свой недвусмысленный – понимаете это выражение или нет? – взор в общую вакханалию, стараясь выдернуть из нее одну, две, энное количество головок с малознакомыми, а то и просто незнакомыми рылами и повлиять на них ужасом. Ничего не получалось, вакханалия продолжала буйствовать, «Вечно! Вечно!», никто, оказывается, не мог прочесть моего нахмуренного взора, глубоко проникающего ужаса глаз. Славословие достигало признаков истерии, и все больше нарастало чувство, что славят словами, не чувством ужаса, что приказы часто не выполняются, что повсюду пробирается титовская агентура, что в криках «Вечно! Вечно!» звучит истерическая мысль о смерти, что эти товарищонки, эти рыла ее в равной степени и бздят, и предвкушают. То есть еще не едят, но готовятся съесть. Какое, к черту, они имеют отношение к нашему марксизму, к диалектическому империализму, то есть материализму, к историческому, отнюдь не истерическому, катехизису революционера?

Тогда он перебросил Маленкову записку: «Перерыв!» И шквал любви мгновенно стих.

Немедленно, как, собственно говоря, и предполагал формат съезда, то есть оперативно, собралось Политбюро со всеми своими помощниками и консультантами. От этих последних пришлось избавиться, потому что без них не возникла бы в Белграде и на Бриони такая масса скопившейся информации. Тут он заметил, что члены Политбюро и Секретариата распределились, черт бы их побрал, по возрастным группам. Это еще что за фокусы? «Старая гвардия», то есть все эти молотовы, кагановичи, ворошиловы и иже с ними, то есть больше никого, сидели вместе, как будто им в нашем братском Политбюро требовалось еще какое-то особое чувство локтя. Эх вы, чугунные башки, уцелевшие благодаря Кобе в ярой очистительной страде тридцатых, вам бы продемонстрировать единство, верность вождю, нет, вы обособляетесь, отжившие особи, дрожите за свои дряхлые шкуры, вам все еще кажется, что общие преступления помогут вам уцелеть. А почему же здесь нет Михаила Ивановича, Льва Давыдовича, Сергея Мироновича, Коли Бухарина, любимца партии, Карла Радека, наконец, с его блистательным чувством юмора? Хотелось встать и запросить: «А почему не известили Орджоникидзе?!»

Интересно, что «молодая гвардия» тоже давала знать о своем существовании. Сосредоточились вместе со своими вполне алкогольными лицами: некто Косыгин, некто Брежнев, известный молдаванин, Суслов Фардей Фихайлович… Этот последний, впрочем, если и пьет, то только каплями. Вот на него еще можно положиться в теоретических разработках. Но почему же нет среди молодежи Жданова Андрюши, Коли Вознесенского? Партия, увы, еще не изжила из своей практики язву интриганства и карьеризма. Иными словами, практика партии нуждается в диете, товарищи. Вот об этом нужно будет сказать в заключительном слове.

А вот и главные действующие лица – среднее поколение высшего руководства страны, социалистического лагеря, всего мира в конце концов: Маленков, Берия, Хрущев, Булганин… Именно им предстоит нанести смертельный удар по ползучей гадине югославского ревизионизма. А они, вместо того чтобы разрабатывать эту исторически глобальную, можно сказать, планетарную идею, сидят и думают, что скажет в заключительном слове Хозяин, в том смысле, как это отразится на послесъездовском перераспределении портфелей.

Ну что ж, вот здесь, сейчас, мы дадим бой всем приспособленцам и обскурантам. Так и будет записано в истории нашей партии, в «кратком курсе» и в полном: «Бой Сталина с интриганством и карьеризмом, с приспособленчеством и обскурантизмом, за сплочение всех, живых и мертвых. Декабрь 1952, Москва, Девятнадцатый съезд ВКП(б)». То есть КПСС.

Сталин начал свое обращение к Политбюро на минорной ноте. К сожалению, надо отметить, сказал он, что наш съезд может пройти на бескрылом уровне. Не кажется ли товарищам, что мы

чрезмерно увлеклись вопросами кадровизма? Что решают кадры? Известно, что они решают все, но они все-таки не все решают в историческом ключе. На исторический, то есть крылатый, уровень мы должны выходить с уже подготовленными, отточенными кадрами. Они должны быть настолько подготовлены и отточены, что мы просто не должны будем думать о кадрах, выходя на крылатый, то есть исторический, уровень.

Может быть, у нас нет даже стремления достичь этого уровня в связи с увлечением некоторых товарищей вопросами приземленного характера, в частности, товарищей, на 97 процентов лишенных исторического кругозора.

А ведь прежде мы в Политбюро могли с пылом обсуждать вопросы народного быта, ну, скажем, вопрос об увеличении производства кисточек для бритья, а в следующем параграфе, товарищи, с утроенным, а может быть, и удесятеренным пылом приступать к вопросам искоренения в наших рядах империалистической агентуры.

Слов нет, явившиеся на смену старым товарищам наши молодые товарищи обладают значительными преимуществами… Тут он бросил зоркий вперяющийся взор на жалкую кучку почти готовых к своему устранению старых товарищей. Все трепетали. Один лишь мерзавец Молотов, заключивший позорный пакт с фашистом Риббентропом, как ни в чем не бывало вынул носовой платок и чихнул; кто ему обеспечивает чистоту платков вместо еврейки, вознамерившейся отдать ВЭСЪ наш Крым израильскому государству Соломон, или как его там?.. И не только благодаря своим сугубо возрастным преимуществам, но главным образом благодаря преимуществам своего образования. Возьмите, например, товарища Молотова, быть может, он демонстрирует хорошие старорежимные манеры, щеголяя на Политбюро своими безукоризненными платками, однако в каких учебных заведениях он получал свое образование? В старорежимных царских учебных заведениях получил свое образование наш товарищ Вячеслав. Мы сами еще не знаем, какие балласты оседают в наших характерах в результате образования, однако балласт такого смутного характера должен быть беспощадно отброшен!

Тут он замечает, что многие товарищи выражают искреннее восхищение развитием его мысли, а некоторые товарищи лишь формально слегка трепещут ладошками далеко не первосортных рук. А где же «бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, все встают»? Где вообще-то вся эта необозримая процессия восторженных народов мира, из которой целится в тебя неоспоримый снайпер? Он вздрогнул, что, к сожалению, не прошло незамеченным.

А теперь возьмите товарища помоложе, скажем, Хрущева Никиту. Быть может, его манеры оставляют желать лучшего, однако образование он получил целиком советское без всяких буржуазно-феодальных экивоков. Это неоспоримо, товарищи, как прицел снайпера!

Тут было замечено, что глаза у многих товарищей чрезвычайно расширились, можно сказать, вылупились из своих орбит. Надо было, конечно, смягчить ситуацию какой-нибудь доброй шуткой. Я уж не говорю об образовании наших самых молодых товарищей, просто-напросто потому, что оно у них еще не закончено. И он милосердно поаплодировал кучке гнусных юнцов, в частности, молдаванину Брежневу, унылому, как все немцы, Косыгину, ну и добросовестному, как все китайцы, ФФ Суслову. В кабинете потеплело. Многие замилели друг к другу людскою лаской. Но не все.

Теперь вперед! Прямой переход на крылатый уровень. Вот, например, еврейский вопрос, как он предстает перед большевиками в данной конкретной ситуации в нашей стране. Всему миру известно, что наша партия является партией интернационалистов. У нас нет никаких претензий к еврейским массам. Среди них мы видим немало вдохновенных тружеников, но есть и трутни. Больше того, замечаются и разлагающиеся плевелы. Говоря с предельной искренностью: бросается в глаза множество мелких элементов, паразитирующих на теле великой страны. А из этих элементов, товарищи, вырастают и самонадеянные скорпионы.

Вот буржуазные молодчики, когда пишут о процессе Антифашистского еврейского комитета, обвиняют нас в жестоком антиеврействе. Однако мы с вами, товарищи, видели в этих коварных деятелях не евреев, а вот именно самонадеянных еврейских скорпионов!

Возникает пауза, в которой он ждет хотя бы слабого проблеска восхищения. Проблеск, однако, не проявляется. Все молча смотрят на него в ожидании следующей фразы, хотя прекрасно знают, что в таких местах полагается проблеск. Он медленно озирает собравшуюся компанию скор… нет,

не скорпионов, а политбюрократов: что их держит за язык? Уж не открещиваются ли от борьбы со скорпионами, уж не хотят ли на него все взвалить?

Вдруг чей-то голос прорезался сквозь сыроватую вату собрания: «Товарищ Сталин в своем анализе, как всегда, прав». Тут все закивали: ну, конечно, кто же спорит, само собой разумеется, что товарищ Сталин прав. Ах, вот как? Он прищурился, вообразив, как всех отсюда выводят одного за другим, руки за спину, и остается только один, которому совсем уж нельзя было не вякнуть: Каганович Лазарь Моисеевич, «железный нарком», большущее, тяжелое тело, усики тридцатых годов а ля Чарли Чаплин – или, скажем, а ля Адольф, уж мы-то, старая гвардия, помним, каким его привезла отважная Ариадна; все хохотали – сущий Чаплин! – и узкий, несмотря на огромную лысину, лобик.

Вот, товарищи, мой старый товарищ по революционной борьбе товарищ Каганович Лазурь Моисеевич, безусловно, поймет, что мы считаем задержанных сейчас кремлевских врачей скорпионами не потому, что они евреи, а потому, что они задумали нехорошее против вождей, то есть против вас, дорогие товарищи. В скором времени это дело будет обнародовано, и мы опасаемся, что оно повернет свой справедливый гнев по национальному признаку, вот в чем проблема, товарищи. С другой стороны, евреи могут получить из своего соломоновского Израиля секретное оружие против нашего народа, и в этом тоже мы видим серьезную проблему, товарищи. Надеюсь, всем ясно, что нам надо прийти к окончательному решению еврейского вопроса.

Далее он стал развивать это окончательное решение. Никаких лагерей смерти не будет, никаких газовых камер, никаких печей. Во избежание справедливого возмездия и вообще для гармонического умиротворения народных стихий будет организован переезд еврейского населения на новое местожительство, в Еврейскую автономную область со столицей в Биробиджане. Комитет выдающихся граждан еврейской национальности, включающий писателей, музыкантов, ученых и уцелевших врачей, обратится с соответствующей просьбой в правительство. Министерство путей сообщения получит соответствующие директивы по выделению соответствующего подвижного состава. Министерства внутренних дел и государственной безопасности получат соответствующие приказы по охране переселенцев от соответствующего народного гнева. Все прогрессивное человечество соответственно по заслугам оценит эту грандиозную гуманитарную операцию. Вот именно такого масштаба дела как раз и являются тем, что он полагает историческим подходом к решению проблем.

Пока он говорил, все члены Политбюро и кандидаты в члены, а также секретари ЦК одобрительно кивали и делали пометки в своих блокнотах, однако в паузе никто не произнес ни слова, за исключением так и не поумневшего за долгие годы Клима Ворошилова, который поинтересовался, будет ли внесен этот проект в повестку дня Съезда. Сталин ответил, что этот вопрос будет решен прямым голосованием среди присутствующих. Всем показалось, что он прибавил к этому матерное ругательство. Впрочем, ничего подобного в стенограммах не сохранилось.

Несколько минут он что-то бурчал, перелистывал бумаги в своей подшивке, а потом начал излагать второй, но далеко не по важности второй, проект противопоставления исторической поступи внеисторической «бескрылости». Здесь уже не было ни ухмылочек, ни вопросительных знаков, ни привычной психологической игры со сподвижниками. Грубым, чтобы не сказать железным, наждачным, стальным, ну, в общем, сталинским голосом он излагал директивы по ликвидации ревизионистского проекта Федеративной Республики Югославии. Ждать больше нельзя. Клика Тито продолжает уничтожение верных ленинцев-сталинцев. С мест поступают многочисленные просьбы трудящихся о применении эффективной интернациональной помощи. Сразу после Съезда начинаем концентрацию войск на болгаро-югославской границе. Не позже первомайского праздника советского народа и всего прогрессивного человечества начинаем братские действия силами десяти бронетанковых дивизий, десяти мотострелковых дивизий, десяти ракетномортирных дивизий, десяти конногвардейских дивизий, десяти горноравнинных дивизий при общей поддержке десяти авиаармий бомбардировочно-истребительной авиации. Одновременно соединенная эскадра надводно-подводных сил Балтийского и Черноморского флотов запечатает побережье уклонившейся от сотрудничества страны. Для изоляции ревизионистского руководства как в центре, так и на уровне райкомов так называемой

Коммунистической партии Югославии будут высажены десять парашютно-прыжковых дивизий агитационно-диверсионных войск специального назначения. Вся операция будет завершена в течение одного месяца, после чего наши силы совместно с патриотическими силами Югославии приступят к активным созидательным действиям по возрождению государственных структур и партийному строительству в выделяющихся из федерации независимых и в то же время братских странах южных славян.

Вся эта великолепная доктрина была передана самому мощному в человеческой истории синедриону без всяких междометий и посторонних звуков, то есть блестяще. Завершив нелегкое дело, он набрал полную грудь воздуха, однако он, этот данный воздух Политбюро ЦК КПСС, не показался ему воздухом высшего качества. Он мало был похож на воздух боржомских высот, где в детстве гуляли с несчастным, но далеко не всегда отвратительным отцом. В тот день он был как раз таким. Именно там и тогда, при вдыхании того воздуха, отец изложил ему свою мечту о том, чтобы он, Сосо, стал священником. Собственно говоря, мечта его сбылась: Сосо и стал первосвященником нового культа, а потом, как дружище Кирилл предрекает, пойдет еще дальше. Кстати, где он, дружище Кирилл, почему не сидит тут рядом со мной вместо этого противного Лаврентия?

Лаврентий между тем сидел прямо напротив и кивал, кивал в знак согласия своим мерзким пенсне. И все члены и кандидаты в члены совокупно с членами Секретариата кивали в знак согласия кто чем: лысиной, шевелюрой, шнобелем, жабоподобными брылами. Но все молчали. Чем-то попахивает. Чем? Засидевшимися, застоявшимися, залежавшимися мужланами – ничем иным. Ничем не протирают подмышек, паха, расселин. Мы производим неплохой одеколон «Шипр», а для этой компании он вроде и не существует; спрашивается, почему?

Вспоминается Ялтинская конференция. Черчилль и Рузвельт уж если чем и попахивали, то только чистотой вкупе с какими-то приятными пряностями. Однако запашок чего-то слежавшегося постоянно присутствовал за столом переговоров. Союзники даже иной раз кривили нос, унизительно переглядывались. Однажды, будучи в раздражении, он даже спросил свою свиту, чем это тут все время отталкивающе попахивает. Свита замялась в молчании, но тут переводчик президента, какой-то белогвардейский последыш, мягко заметил: «Боюсь, что попахивает недостатком одеколона „Ярдлей“, маршал Сталин». В тот же день в резиденцию был доставлен здоровенный флакон указанного одеколона, и больше за столом переговоров уже ничем отталкивающим не попахивало.

Парадокс заключается в том, что вождь народов мира не может здесь себе позволить реплики об одеколоне «Шипр»: все-таки заседание Политбюро КПСС имеет место. Никто, конечно, не возразит, однако все недомытки будут уязвлены нарушением партийной этики. Приходится и дальше задыхаться от отвращения по отношению ко всем этим, которые вот все кивают, кивают по двум ключевым, поистине «крылатым» вопросам и ни слова не произносят, потому что подошел такой момент в истории партии, когда боятся больше не Его, а друг друга.

Почему тут у нас нет ни одного женского лица? Чью волю мы тут в конце концов выражаем: всего народа или только мужланской его части? Почему я тут никогда не могу увидеть ни матушки Кето, ни жены своей, Звезды-Надежды, ни даже оперной певицы Пантофель-Нечецкой? До войны меня повсюду изображали с девочкой Мамлакат; где она? Почему из очаровательного ребенка, да еще и рекордсменки угледобычи, который так уютно посиживал на коленях у дядюшки Иосифа, сделали пропагандистского идола? Почему ее не ввели в ЦК, не провозгласили окончательной гордостью нашей партии? Что происходит с госпожой Ладыниной и другими белозубыми блондинками-трактористками? Разве не могут они заменить всяких там евреев вроде Кагановича? Женщина – это вообще более надежный товарищ мужчины, чем мужчина. Они не склонны к внутрипартийным интригам. Известно, что всякие сволочи рассматривают женщину лишь как источник нового поколения солдат. Есть также козлы, вроде Берии Лаврентия Павловича, 1899 года рождения, которые при виде женщины алчно жаждут только одного – удовлетворения своей гипертрофированной похоти. Некоторые члены знают, что товарищ Сталин пестовал идею ИСТОРИЧЕСКОГО включения в Политбюро выдающейся женщины-коммунистки Ариадны Лукиановны Рюрих-Новотканной, 1912 года рождения, однако «кадровистам» каким-то образом удалось подвесить эту идею. Больше того, через структуры Спецбуфета в Секретариат товарища Сталина стала просачиваться гнусноватая информация о некоторых странноватых

высказываниях нашей героини, особенно по еврейскому вопросу, то есть о ее отклонениях от генеральной линии. Учитывая все эти обстоятельства, можно констатировать, что товарищ Сталин оказывается в своего рода изоляции по самым кардинальным вопросам перед лицом нескольких возрастных групп.

Все эти довольно четко структурированные мысли пронеслись через сознание вождя в течение тех нескольких минут, пока участники заседания высшего аппарата страны продолжали вроде бы выказывать ему полную лояльность, кивая, кивая и кивая своими головенками, но в то же время сохраняя вполне отчужденное молчание. В конце концов он решил высказать третье и, может быть, самое кардинальное предложение сегодняшнего дня.

«Товарищи, в свете того, что я вижу вокруг себя в канун открытия исторического Девятнадцатого съезда нашей партии, я прихожу к решению представить съезду формальное заявление о моей отставке с поста Генерального секретаря». И он протянул Маленкову заранее подготовленный текст.

Как он и предполагал, это его заявление произвело парализующий эффект на весь состав Политбюро. Маленков трясущимися руками отложил исторический текст, даже не решившись открыть рта. У многих членов, как раз наоборот, отвалились нижние челюсти, открыв зияющие отверстия в глубины их грешных организмов. Слепым огнем воссияли стекляшки Берии. Кто-то, кажется, пукнул, во всяком случае, к привычной затхлости прибавился ручеек какого-то остренького зловония. И только каменный Молотов исторг из себя панический и явно не мужской возглас: «Нет!» И лишь после этого бабского визга верного ленинца, верного несмотря на справедливую изоляцию еврейской жены, лишь после этого на Политбюро воцарился звуковой хаос. Все члены повскакали с мест, простирая к вождю умоляющие длани. Все выкрикивали «Нет! Нет!», что немедленно переводилось в голове вождя на языки ведущих этносов великого Советского Союза – «Йок! Йок! Ара! Ара!». И, наконец, после получасового излияния чувств председательствующий Маленков проникновенно подвел черту:

«Товарищ Сталин, дорогой Иосиф Виссарионович, ради счастья всего человепчества Политбюро ЦК КПСС сердечно просит вас забрать обратно свое заявление!»

После этого было решено начать работу съезда в заранее разработанном формате.

На следующий день в Большом Кремлевском дворце начал свою работу съезд самых стойких, самых верных и к тому же самых приверженных к ИСТОРИЧЕСКОМУ масштабу решения дел. Некоторой слегка чуть-чуть назойливой склонности к бескрылому деловизму было указано на дверь. Появление в ложах президиума великого Сталина было встречено нарастающим рокотом зала сродни тому, что возникает при приближении к бескрайнему океану. В глубине стихии он возник, и окреп, и материализовался, уже не в одиночном вопельке самого горластого, а в едином от лица всей всенародности стройном хоровом возгласе: «Да живет великий Сталин вечно!» Реверберация: «Эчно! Эчно! Эчно!» Долгие, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию; все встают.

Сталин довольно долго наслаждался этой стройностью, вне зависимости от ее содержания. В конце концов при всей близости слова «вечность» к буржуазной метафизике можно все-таки снизойти к некоторому отдалению от материалистической незыблемости ради такого проявления единых чувств. Потом он начал ладонью осаживать все нарастающий восторг, как бы говоря на манер незабвенного Бенито Муссолини: «Пиано, пиано…»

Тут он заметил в зале столь располагающие к себе лицо и фигуру Кирилла Смельчакова. Тот стоял с аплодисментами в десятом ряду крайним, чтобы в случае чего немедленно выйти из зала. Сердце вождя наполнилось при виде поэта теплым чувством полнейшей надежности. Он помахал ему рукой, и зал, потрясенный этим проявлением личных, персональных, вернее, персонализированных, чувств, стал стихать. Впредь этого не надо делать, подумал он. А впрочем, пусть думают, как добиться такого личного привета. В общем, он остался доволен.

Вечером на приеме он подошел к Кириллу.

«У нас тут прошел слух, что вы снова собираетесь в большое путешествие, товарищ Смельчаков».

«Вскоре после Нового года, товарищ Сталин».

«Ну вот и отлично. Партия и правительство высоко ценят ваши усилия в защиту мира во всем мире».

Квартеты Бетховена

Концерт, на который Глика была приглашена таинственным голосом по телефону, проходил не в Большом зале консерватории, а в Малом. В Большом-то, как всегда в ту пору, разыгрывалась какая-то могучая народная оратория, а в Малом давали просто-напросто три скромных квартета Людвига ван Бетховена. «Издалека я знаю вас давно, Гликерия Ксаверьевна, – звучал в трубке странно-ломкий, чуть ли не надрывный голос, изобличавший удивительную интеллигентность и утонченность его носителя. – Всегда восхищался вашей внешностью и не только потому, что она безупречна, но также и потому, что каждый ваш промельк пробуждал в душе что-то удивительно музыкальное, как будто поднимающееся из партитуры вот именно Бетховена или из черновиков молодого Бори Пастернака».

«Вот оно как! – сказала она, не скрывая некоторого раздражения. – Стало быть, были знакомы? С обоими, должно быть?»

В городе давно уже ходили разговоры о приближении этого вроде бы вполне скромного, однако обещающего некую невнятную сенсацию концерта в Малом зале Консерватории. Билеты давно уже были раскуплены, однако представители интеллигенции продолжали их в ажиотаже выискивать, словно пытаясь этими билетами подтвердить принадлежность к задавленной «прослойке». Все ясно, подумала Глика, какой-нибудь сластолюбец-кадрильщик пытается заманить девочку с помощью билетов в Консерваторию. Тут следует добавить, что в те времена слова «кадр», «кадрильщик» и производный глагол «кадрить» уже вошли в обиход с легкой руки товарища Сталина. Уловив, очевидно, ход ее мысли, соблазнитель произнес совсем уже ломким, предельно надрывным голосом: «Я, конечно, никогда бы не решился вас пригласить, если бы у меня не было к вам записки от одного вашего друга, с которым вы нередко прогуливали добермана по имени Дюк во дворе вашего дома».

«Вот это да, ну и ну! – вырвалось тут у Глики университетское восклицание. – Как же это так? Да ведь Юра где-то пребывает… в каких-то… дальних экспедициях, не так ли? Кстати, как мне вас благодарить, в смысле, как вас зовут?»

«Меня зовут Олег Олегович. Я все вам объясню в перерыве или после концерта. Надеюсь, что и квартеты вам понравятся. Ведь будет играть Шостакович».

«Ну и ну, вот это да! – вновь употребила Глика свое универсальное восклицание, хотя и в несколько перевернутом виде. – Шостакович играет Бетховена?!»

«В том-то все и дело, Гликерия Ксаверьевна: Шостакович Бетховена. Но не наоборот».

А он тоже, кажется, не лишен витаминчика, подумала тут Глика.

«Итак, до встречи, любезнейшая Гликерия Ксаверьевна. Предвкушаю ваше изумительное общество. Ваш билет вам доставит на дом один мой друг, проживающий как раз в вашем удивительном доме».

В течение всего дня Глика перебирала в уме этот странный разговор. Странный какой-то этот Олег Олегович. Как странно он говорит! Если бы сказали, что он чревовещатель, я бы не удивилась. И какая странная отсылка к Дондерону: ведь тот в тюрьме. Скорее всего, он оттуда, ну из наших славных органов. Они что-то прощупывают. Надо было просто послать его подальше. Это провокация. Впрочем, еще не поздно уклониться. Надо рассказать Кириллу: уж он-то знает, как с этими типами разговаривать.

И вдруг какая-то мощная, поистине бетховенская волна охватила ее. Не буду никому ничего рассказывать, не маленькая. Надоело всего бояться! Страннейшая мысль тут посетила ее. Ведь если я уклонюсь, тогда, быть может, навсегда потеряю этого страннейшего Олега Олеговича, а как же мне жить тогда без этого страннейшего? Ведь если я буду из трусости уклоняться от таких внезапных непредсказуемых приглашений, я стану в дальнейшей жизни просто комнатным фикусом. Если есть хоть один шанс, что он принесет настоящее письмо от Юрки, я, быть может, хоть чем-то смогу тому помочь. Ведь я защищена со всех сторон и отцом, и матерью, и Кириллом, а он-то в тюрьме полностью беззащитен. И если я буду уклоняться от странных вызовов жизни, я буду недостойной жрицей Сталина, а самое главное – вот именно самое главное – я никогда тогда не увижу своего Моккинакки.

Утром следующего дня пришел старший помощник младшего дворника Егор и передал через спецбуфетчиков конверт с билетом.

Просидев весь день на дурацких лекциях в МГУ на Моховой, Глика, как была, в студенческой курточке из Сорбонны, отправилась в Консерваторию; благо, рядом. Улица Герцена несмотря на привычную уже непогоду была оживлена. К главному входу Консерватории одна за другой подъезжали автомашины, из которых вылезали любители величественной музыки (давали «Землю Сибирскую»), среди которых тон задавали делегаты ныне проходящего съезда Коммунистической партии. К Малому залу выгружались из троллейбусов представители служилой интеллигенции, которых можно было определить по количеству очков и шляпенок. Студентов среди счастливых обладателей билетов было немного, и потому, вероятно, Глика привлекала особенное внимание своей ярчайшей молодостью. Стараясь стушеваться, выдать себя за городскую скромняжечку (кто догадается, что курточка-то привезена из Сорбонны?), она пробралась к своему креслу. Тут же воздвигся во весь свой отменный рост галантный Олег Олегович. Внешность его была еще более удивительной, чем трепещущий голос. Вот вам несколько штрихов: бросающийся в глаза пышноволосый блондин со значительно развитой сединой, грива, стало быть, представляет из себя амальгаму золота и серебра, в бороде по контрасту с гривой преобладает темная бронза, нос увесист, сущая бульба, а на переносице, совсем уже сбивая всяческие предположения, красуются темно-голубые очочки в железной оправе. Издали такая персона может показаться каким-нибудь голубоглазым потомком викингов из популярной нынче породы скандинавских людей доброй воли и сторонников мира во всем мире, вблизи же может показаться, что вы имеете дело с глазным инвалидом. Всевозможные странные движения и мелкая неадекватная жестикуляция изобличали в Олеге Олеговиче завершенного чудака. Встав, например, перед своей изумительной дамой, он пытался подставить ей кресло, не замечая того, что все кресла ряда соединены воедино. Она смотрела на него, охваченная совсем неожиданной симпатией. Ей-ей, никаким органам не удалось бы научить своего агента трепетать так, как это делал Олег Олегович.

«Ах, как я счастлив вас видеть, ах-ах… Ах, как счастлив будет Юра, ах-ах… Однако, чу, концерт начинается, любезнейшая Гликерия Ксаверьевна…»

На сцене уже сидел квартет: маститый Шостакович с тремя представителями творческой молодежи: Софьей Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и Мстиславом Ростроповичем. Шостакович в данном случае проводил эксперимент с аккордеоном, инструментом народного плана, совсем, в общем-то, не свойственным эре Бетховена. В то же время главную роль в квартете играла старинная арпенджионе, своего рода гитара-виолончель, которая была в руках у Ростроповича. Пошла странная музыка одного из пяти последних квартетов великого композитора.

«Он был тогда уже совсем глух», – прошептал Олег Олегович Гликерии Ксаверьевне. Так тихо, что она ничего не расслышала. И попросила повторить. Тогда он приложил к губам свой длинный и слегка чуть-чуть слишком смугловатый для вихреватого блондина палец. После этого вынул из пиджака блокнот и написал на чистом листке ту же самую фразу. Она кивнула, взяла у него самописку и написала: «Значит, музыка возникала у него не в ушах, а в голове».

«Какая вы умница, – написал он. – Так бывает и в живописи. Малевич учил нас, что цвет возникает не в глазах, а в голове. Или даже подальше».

Музыка шла то в плавном ритме, то впадая в стаккато. Подрявкивал аккордеон. Разливалась арпенджионе. Вторили ей альт Денисова и скрипка Губайдулиной.

«Вы художник?» – написала она.

«Нет», – ответил он.

«А кто вы?»

«Шофер».

«Шутите?»

Вместо ответа он показал ей свои мозолистые и темные от бензина и масла ладони. Потом показал ей одной из этих ладоней: дескать, давайте слушать. Она кивнула и отвернулась. Слушать эту странную музыку было почти невозможно. Она чувствовала, что в ее жизни происходит что-то очень важное. По прошествии какого-то времени она посмотрела на Олега Олеговича. Тот слушал, откинув голову. Из-под правого темно-голубого очочка в носо-губную складку медленно

путешествовала капля влаги, то ли пот (в Малом зале натопили чрезмерно), то ли слеза (играли 14-й квартет глухого композитора). На его колене лежал открытый блокнот с ручкой «Монблан». Она схватила ручку и быстро написала:

«Вы такой же шофер, как Ш. аккордеонист».

Он ответил:

«Жить-то надо. Других инструментов не дают».

Монблановское перо заплясало в ее руке.

«Эта музыка не успокаивает, а будоражит. Что происходит? Б. звучит у них, как современный формализм».

Вместо письменного ответа он приблизил свои губы к ее уху. В этом не было ничего экстравагантного. Среди слушателей многие слегка чуть-чуть шептались, приближая губы к близким ушам, то юным, как купидоны, то хрящевидным, будто неживая модель. То ли с ужасом, то ли с восторгом она почувствовала, как его мягкие, но сильные губы берут ее мочку. И вдруг до нее донеслось ошеломляющее: «Родная моя». Снова схватив ручку, она начертала вопрос:

«Это ты?»

Он взял ручку из ее пальцев и ответил с предельным лаконизмом:

«Да».

После этого концерт для них кончился, хотя для всех остальных, как нам кажется, он продолжался еще не менее двух часов. Шостакович разыгрался, как будто у него в руках был не аккордеон, а большой орган Лейпцигского собора.

На Яузе в те времена были такие места, где недострои и долгострои вкупе с прочими заброшенностями сплелись так тесно, что трудно было понять, где находишься: в промышленном ли захолустье, перемешанном с останками закончившейся семь лет назад ВОВ, в затоваренном ли скоплении всяческой бочкотары, труб, сварных и клепаных, кирпичных недостенков, цементных поверхностей, из которых нередко торчали вляпавшиеся и засохшие животные, а также чоботы зэков и сапоги охраны, ну и прочие отходы урбанистического социализма. Немало там было и полуразобранных автомашин, как грузовых, так и «легковушек», частично освещенных каким-нибудь случайно уцелевшим фонарем или погруженных в полнейший мрак, в котором лишь иногда побескивали под луной уцелевшие ветровые стекла и еще не свинченные фары.

В этой компании ничем на первый взгляд не выделялся контур массивного ЗИСа-101, приткнутого к глухому бетонному забору, вернее, куску забора, который не ограждал ничего, кроме такого же хлама, как все перечисленное. Фары его и подфарники были погашены, шторки задернуты, а между тем, если прислушаться, можно было понять, что мотор работает, а если приглядеться, можно было увидеть выбивающийся из-под задка дымок. К счастью, некому там было в ту полночь ни прислушиваться, ни приглядываться. Мы говорим «к счастью», потому что появление какого-нибудь опустившегося бича могло нарушить вот именно счастье двух любящих сердец. Там, внутри, разложены были кресла и широкий задний диван. Было тепло настолько, что можно было даже отбросить приготовленные загодя пледы. В узкую щелку между шторками внутрь попадал чудесный лунный луч. В чуточку опущенное окошко проникал морозный воздух любовной московской юности, если судить с точки зрения Така Таковича Таковского, который на другой стороне неширокой реки Яузы изнывал от ревности и счастья. Конечно, я ничего не слышал из того, что происходило внутри большущего рыдвана, тем более что время от времени мимо проезжал какой-нибудь шумный автомобиль, однако я догадывался, что там тихо играет коротковолновый приемник, передающий из Танжера музыку Эллингтона и Пегги Ли.

«Значит, ты меня еще любишь, девочка моя», – шептал Жорж на ухо Глике, не прикрываясь уже никакими пушистыми усами, гривою и бакенбардами. Она обвивалась вокруг его мускулистого тела, целовала любимую его лысину, вспотевшую от часовой любовной утехи, оживляла его слегка ороговевшие от жизненных невзгод уши, теребила и брала в рот его выдающийся, но далеко не греческий нос, заглядывала в темно-оливковые его глаза, словно пыталась уйти в космос его души. А он приступал к ней снова и снова с тем же пылом, с каким приступал к ней в вибрирующем чреве гидроплана на высоте пяти тысяч средних европейских метров, с тем же пылом, если не с большим.

«Ах, как мы летели тогда, как драпали к счастью!» – вспоминала Глика ту полугодичной давности авантюру. В промежутках между неистовствами она располагалась на теле Жоржа,

словно оно (тело) было не чем иным, как дополнительными удобствами дивана, а он старался оправдать этот подход, подставляя под девичью спинку то сильно волосатую грудь, то менее волосатую ногу. «Скажи, Жорж, а нельзя ли нам и сейчас драпануть в ту Абхазию?»

«Можно и сейчас, родная моя, но, увы, не таким мирным способом, как прежде. Кстати, тебе привет от Натана. Он вышел в отставку и пробавляется по часовому делу».

«Спасибо, спасибо, он очень мил, этот Натанчик. Во взгляде его мне всегда видно было нечто отеческое, нечто ксаверьевское, усиленное к тому же какой-то дополнительной тягой. Ах, как мне хотелось бы удрать навсегда в ту Абхазию, где все говорят по-французски, жить там в том доме над прибоем, любить друг друга, может быть, даже рожать детей время от времени, но не забывать и философского смысла, ведь недаром идут сейчас иной раз разговоры о „Новой фазе“ – иными словами, окармливать местных абхазцев мудростью солнечного сталинизма».

Тело мощи под ее телом гибкости вдруг стало трястись на манер того гидроплана, да еще и взрываться какими-то спазмами, чего с гидропланом не случалось. Посмотрев через плечо на расположившееся справа внизу лицо, она увидела, что оно, лицо, хохочет.

«Ах, счастье мое, как мне нравится твой юмор!»

Она продемонстрировала нарочито поддельное возмущение. «Какой же юмор, елки-палки! Это моя мечта в конце концов! Жить в той Абхазии, все втроем, какое счастье!»

«Втроем?» – удивился Жорж.

«Ну, конечно, Жорж, втроем! Другого я себе и не представляю! Почему бы вам с Кириллом не поделить мою любовь? Ведь не убьете же вы друг друга!»

Он помрачнел, но счел нужным заметить: «Я, во всяком случае, постараюсь».

Она чуть переменила позу и строго пискнула у него из подмышки: «Запомни, Жорж, или все трое, или я одна!»

Он помрачнел, но от этой мрачности снова возгорелся страстью и, залепив ей рот своим смачным поцелуем, стал ее раскладывать под собой для очередного гармонического соития.

Покончив с этим, очевидно, завершающим свидание делом, он стал натягивать на свои чресла трикотажные китайские кальсоны, а на стопы чехословацкие носки с закреплением их поверх кальсон отечественными резиновыми подтяжками. Затем настала очередь отменно отглаженных шевиотовых брюк, опять же на подтяжках, на этот раз гэдээровских. Что касается великолепной шелковой рубашки, произведенной, по всей вероятности, на подпольной фабрике в Тбилиси, то она, должно быть, адресовалась какому-то чрезмерно, даже и по Жоржевым масштабам, длиннорукому, а потому для того, чтобы ее рукава не вываливались из рукавов пошитого на заказ пиджака, Жорж поддерживал эти рубашечьи рукава своего рода бухгалтерскими подтяжками, натягивающимися выше локтя. Возясь по этим подтяжкинским делам, он на минуту даже забыл о предмете своей романтической страсти, а когда опомнился, увидел, что Глика, давно уже одетая в парижское легко натягивающееся шмотье, сидит в углу дивана и курит «Джебил» (в МГУ эту марку, конечно, называли «Дебил»), стараясь на возлюбленного не смотреть. Он покрылся потом от неловкости своего копошащегося одевания (раздевание прошло гораздо быстрее, рывками) и от стыда за то, что позволил себе о предмете страсти, хоть на минуту, но забыть. Как легко бы я оделся, живи мы в той таинственной Абхазии, подумал он: тенниска, легкие брюки, мягкие туфли на босу ногу. Стараясь скрыть стыд, он быстрыми движениями украсил свою голову легко наклеивающимися аксессуарами, добытыми в гримерном цехе Малого театра, то есть артистической гривой, английскими бакенбардами и миклухо-маклаевской бородою.

«Ты уверен, что это необходимо?» – спросила Глика довольно отчужденным тоном.

«Ты слышала когда-нибудь о Штурмане Эштерхази?» – ответил он вопросом на вопрос.

Она рассмеялась. «Что-то слышала от родителей, но в основном от Кирилла. Во время войны был такой миф, летающий над морями и над театрами военных действий, нечто среднее между Пантагрюэлем и бароном Мюнхгаузеном, верно?»

«Он был неуловим, моя крошка. Просто неуловим».

«Ты хочешь сказать, что это был ты?»

«Вот именно. Это был я, и есть я, и всегда буду я».

Она еще пуще рассмеялась. «Чуть не забыла! Ведь я недавно подружилась во дворе с еще одним Штурманом Эштерхази. Это ручной тигр».

Он усмехнулся. «Это уже производное. Знаешь, Глика, я открыл тебе свое старое прозвище не для того, чтобы посмешить или похвастаться, а для того, чтобы тебя предупредить: в Москве скоро могут произойти совершенно чрезвычайные события. До их исхода мы не можем даже мечтать об отъезде в ту нашу Абхазию, не говоря уже о составе нашего любовного союза. Я только надеюсь, что все обойдется».

Она досадливо поморщилась. «Я ничего не понимаю. О чем ты говоришь? Какие еще события? Москва – это неподходящее место для таинственных событий».

«Я говорю это тебе, чтобы предупредить. Ты связалась со Штурманом Эштерхази, это опасно. Никому пока не говори о наших встречах, особенно Кириллу. Конечно, он поэт и атлет, но он к тому же еще и агент. Можешь рассказать ему о концерте, но ни о чем больше. После концерта мы с тобой долго гуляли по набережной и разговаривали о Бетховене – вот и все. А теперь я хочу передать тебе письмо от Юры Дондерона».

Теперь уже ей стало стыдно. В любовной горячке она совершенно забыла первопричину встречи с Олегом Олеговичем. Вот ведь зараза какая: сначала идет на риск, не боясь возможной провокации, лишь для того, чтобы проверить, есть ли хоть малый шанс установить связь с несчастным парнем, а как попадает в моккиначьи жадные руки, сразу забывает и о доблести, и о подвигах, и о славе, а уж о самом тюремном сидельце тем более. Но как мог Жорж заполучить это письмо? Ведь по нему самому, похоже, тюрьма плачет.

Он протянул ей конверт, заклеенный хлебным мякишем. Она неуверенно взяла его в руки.

«Что он там пишет, этот Юрка непутевый?»

«Прошу прощения, мисс, джентльмены не читают чужих писем».

Швивая горка

Глика ошибалась: Дондерон не был тюремным сидельцем. В Лефортовской тюрьме его держали всего три дня, а потом в темпе зачитали ему судебное решение так называемой «прокурорской тройки», то есть трех непроспавшихся свинтусов: три года ИТЛ с последующим ограничением места проживания. Тут же «с вещами по коридору» в «воронок» и повезли к месту исполнения наказания. Оно оказалось, как и обещал капитан Галеев, почти дословно, «в двух шагах от дворца». Еще в самом начале строительства Яузской высотки по соседству, на Швивой горке, возник и распространился под эгидой гэбэ большой лагерный пункт. Собственно говоря, именно зэки и начинали стройку, и для этого их не надо было гнать издалека, везти вагонами или фургонами; просто открывались ворота в глухом заборе и из зоны выходило нужное количество рабсилы, чтобы спуститься со Швивой горки в котлован.

Строительство высотки вроде было уже закончено, въехали и расселились высокопоставленные жильцы, а концлагерь по соседству продолжал существовать. Во-первых, не все еще работы были завершены, например, самая высотная часть центрального корпуса, Башня, еще не была доведена до ума, и туда каждое утро из-под земли на спецлифте поднималась отобранная бригада. Во-вторых, за годы строительства в Таганском ОЛПе сформировалась группа самых изощренных на всей планете заключенных строителей небоскребов, и гэбэ не торопилась ее распускать. В-третьих, с лагерями ведь вообще какое дело: построить их гораздо легче, чем разобрать. Изобретенное основателем нашего государства, это явление пришлось по душе нашему народу. Эти огороженные хозяйства с определенными количествами рабсилы, с вышками, с печками, с пище– и медблоками, с дисциплинарными изоляторами и непременными КВЧ, то есть культурно-воспитательными частями, возможно, казались народу какими-то ячейками светлого будущего.

К тому же строить, как оказалось, на Швивой горке нужно было меньше, чем в колымской тайге. Ведь в центре зоны оказались строения давно ликвидированного Новоафонского подворья для святых людей да и самого Храма Святого Николы на Таганке, в котором до прихода хозяйственников-чекистов располагался склад вторсырья. В этих-то строениях с кирпичной кладкой XVI века, когда на каждый кирпич употреблялось одно сырое яйцо, и расположились узловые структуры ОЛПа, то есть почтового ящика 777/666/АПО. Именно сюда по утрам на своем впечатляющем первенце советских лимузинов ЗИСе-101 привозил своего хозяина, начлага полковника гэбэ Валериана Домиановича Лицевратова, его личный шофер высшего класса,

отставной капитан танковых войск Олег Клонкрускратов, который, по данным особистов, всю завершающую фазу войны возил маршала Толбухина.

Удивительно, каким верным в душе человеком оказался участковый уполномоченный высотки, взяточник и расхититель государственного имущества капитан Галеев. Обещал академику Дондерону, что сын его будет отбывать наказание поблизости от дома, и не соврал. Юрка был потрясен, когда с крыльца своего барака (бараки здесь были расположены слегка чуть-чуть в духе горного аула) увидел свой собственный подъезд со стоящими рядом с ним тремя лифтершами-спецсплетницами. Увидел он однажды, под вечер, как вышел из подъезда любимый папа с трижды любимым Дюком. Спецсплетницы посмотрели им вслед, быстро заработали сельдяными-с-винегретом языками, а одна вроде бы даже показала большим пальцем в сторону «аула», где сидел, окаменев, наш Юрка, пионер джаза в диком СССР. Он видел, как Дюк, сделав свои дела, тут же повернул домой, а ведь бывало так тянул во все стороны, что не удержишь. Юрка разрыдался. Бедный мой пес, так и вся молодость твоя пройдет без старшего брата! Он старался быстрей отрыдаться, чтоб не застали его за этим постыдным делом вохровцы или, еще хуже, мрачные зэки. И все-таки один раз уголовник по кликухе Фрухт увидел его заплаканную рожу и даже пёрнул от неожиданности: во дает малолетка! Юрка, и впрямь, бритый под нуль, выглядел ранним подростком.

Однажды, правда, он возрадовался душою за братика Дюка, когда увидел мельком из строившейся колонны, как тот встретился во дворе со своим другом Штурманом Эштерхази. Спущенные с поводков два представителя животного мира, тигр и пес-доберман, весело прыгали вокруг друг друга и даже брали друг друга, без боли, зубами, в то время как красавица-актриса Горская непринужденно беседовала с отцом «врага народа» академиком Дондероном.

Вот куда Юрка старался не смотреть и даже старался не поднимать туда головы, так это на вздымающиеся над Швивой горкой стены главного корпуса Яузского жилого гиганта. Впрочем, дважды, опять же случайно, в ранних декабрьских сумерках он видел из колонны, как с террасы 18-го этажа поднималась в воздух Глика Новотканная. Раздвигая хляби небесные бросками обеих рук, как это делает пловец баттерфляем, она вздымалась до уровня центральной башни и там зависала. Колонну в это время разворачивали «левое плечо кругом», и Глика исчезала из поля зрения. Еще один разворот, и он видел, как она возвращается с террасы в свою квартиру. Его трясло после этих созерцаний, просто колотило со страшной силой. Он помнил, как будто это было вчера, их первое и единственное, безысходное и счастливое свидание, их бесконечные поцелуи, ее горячее тело, разбросанные по подушке темно-золотые волосы, глаза, затуманенные чудом возвышающейся и угасающей страсти, но эти подъемы в воздух были, похоже, из другой оперы. Лучше не смотреть на эти высоты.

Что касается трудовой повинности, то она, как ни странно, была не особенно обременительной. Его приписали к «инструменталке», размещенной в старом корпусе подворья. Там несколько зэков из технарей весь день возились с инструментами и станками. Юрка, поднаторевший в работе с инструментами еще со времен десятилетки, а в университетской практике научившийся читать чертежи, оказался ценным кадром. Технари его зауважали и даже предлагали иной раз дозы спиртяшки. У них там был замаскированный приемник, и он научил их настраиваться на Танжер. К тому же слегка просвещал в области джаза. Один раз даже начал подпевать Пегги Ли:

- Gonna take a sentimental journey,
- Gonna take my heart at ease…

Петр Христофорович тогда ему доверительно сказал: «Я вижу, Юр, тебя за дело красные замели». И он вдруг почувствовал какую-то странную, вроде бы не очень-то адекватную для вчерашнего комсомольца гордость.

Однажды он засиделся вечером в «инструменталке». Нужно было проверить на разных режимах новый токарный станок, а в таких случаях даже разрешалось не выходить на вечерний развод. Он был счастлив остаться один. Крутил свой станок, останавливал его, делал записи в журнале и слушал приходящий из темного угла концерт молодого пианиста Оскара Питерсона. Приемник был разобран и спрятан по углам: в одном углу было включение, в другом настройка в диапазоне 19 метров, в третьем в диапазоне от 25-го до 31-го. Громкость увеличивали и уменьшали с помощью какой-то железяки, напоминающей сверло. Как странно они стали играть, эти молодые гранды джаза, думал Юрка. Уходят так далеко от темы, что ее забываешь, а потом в

импровизации начинают мелькать то одна знакомая нотка, то другая, наконец подходит с помощью ритм-секции мощная кода, и все рассыпается серебром. Это совершенно новый стиль, называется, кажется, «бибоп»; надо проверить. Вот сейчас бы посидеть с Таковичем, потолковать бы за милую душу о джазе. Вместо этого из-за какого-то гнусного стрекулиста я тухну в лагере, теряю свою юность. А впрочем, к концу срока мне будет всего двадцать два года. Выйду на свободу еще молодым. Буду гордиться, что сидел «за дело». Надеюсь, Таковича не заметут, ведь я его не выдал, когда они спрашивали, кто мне поставлял рентгены. Надеюсь, что и Глика будет со мной, что ей к тому времени надоест ее сталинский лауреат и прекратятся эти бесцельные полеты.

Вдруг заскрипела дверь и в «инструменталку» пролезли трое громоздких уголовников из его барака: Фрухт, Жадный и здешний «вор в законе» Никанорыч. Они погасили верхний свет и подошли к нему почти вплотную.

«Вы чего, ребята?» – почему-то шепотом спросил он.

Фрухт протянул к сидящему руку и почесал ему темя. «Слушай, Студент, тут принято решение пустить тебя по шоколадному цеху. Соображаешь?»

Сальные, страшные ряхи приблизились, хихикая и воняя тухлятиной.

«Так что, милок, сымай штаны, показывай свою красавицу. Прыщей нету?»

Он вскочил. Чудовищная мысль металась у него в голове. Людоеды! Мне же говорили следователи, что в этих лагерях бывают людоеды!

Драться до конца, до последнего вздоха! Он попытался дотянуться до разводного ключа, но тут Фрухт и Жадный насели на него сзади, и ему осталось только дергаться и гнуться в их страшенных лапах.

«Да ты че, Студент, чокнулся, что ли? – сипели они. – Ты че, целка, что ли, целка, что ли?»

Между тем Никанорыч рвал с него пояс, лез в штаны, обкусывал пуговицы, хватал член. «Ниче, ниче, щас все будет чин чинарем! Щас очко-то у него взыграет!» Невесть откуда в руке у него появился эмалированный тазик. «Сурлять будешь вот сюда, а мы потом все пожрем для здоровья!» Безумье ликовало на его ряшке.

Юрка тут вывернулся, сильно ударил коленом в пах паханка. Тот взвыл и отвалился. От неожиданности Фрухт и Жадный ослабили зажим. Он вырвался, дотянулся до разводного ключа, что есть мочи завопил: «На помощь! Охрана, на помощь! Тут людоеды!» Он так, похоже, до конца и не понял истинных намерений трех сластолюбцев.

С размаху он засадил одному из них железякой по скуле. Башка тут же превратилась в окровавленный кочан. Двое других опять обратали его, свалили на пол, припечатали носом вниз. «Ну, сучонок, теперь тебя за насилие задерем до смерти!» Началось что-то немыслимое для сознания академического сынка Дондерона и продолжалось бы, если бы в «инструменталку» не ворвался личный шофер начлага полковника Лицевратова Олег Клонкрускратов.

Прогуливаясь в ожидании хозяина вокруг исторических построек и покуривая папиросу «Казбек», шофер услышал истошные крики из «инструменталки». Забыв, как всегда с ним бывало в похожих обстоятельствах, о всякой осторожности, Клонкрускратов бросился на эти крики. Фонарик его осветил поистине адскую сцену. Три человекоподобных чудовища мудрили над юным мучеником. Клонкрускратов, долго не думая, засветил одному из чудовищ под челюсть носком подкованного сапога, а двух других завалил десантным приемом, то есть сцепленными руками по загривкам. На все дело ушло не более десяти секунд. Потом снова закурил и оглядел помещение. Жертва, пацан лет шестнадцати, сидел на полу и смотрел на него невероятно знакомыми глазами.

«Послушай, ты не из этого ли дома?» – спросил Клонкрускратов и мотнул головой в сторону высотки.

Пацан кивнул. «Там живут такие Дондероны, я их сын».

«Доннерветтер! – воскликнул спаситель юношеской чести, а может быть, и всей жизни Юрки (он сразу вспомнил имя) Дондерона. – Послушай, у тебя из штанов кровь течет. Нет ли тут чего-нибудь, чтобы затампонировать повреждение?»

Юрка показал ему на железную тумбу с ящичками. Клонкрускратов обшмонал ящички и бросил пацану искомое – кусок вполне сносной, в смысле санитарии, пакли. Потом, переступая через полутрупы, пошел к задней, запертой на ключ двери и открыл ее. Там светился под луной

снежный склон Швивой горки. Клонкрускратов деловито подтащил за ноги бессмысленно хрипящих Фрухта, Жадного и Никанорыча и стал ногами сталкивать их под уклон. Полутрупы покатились в дальний угол зоны, к помойке, и остались там лежать. После этого шофер начальника – а Юра сразу узнал его по росту и по экстравагантной нерусской растительности – запер заднюю дверь, а ключ положил в карман.

Юнец был уже на ногах. «Жалко, что вы их выбросили, я бы их убил».

«Всех до одного?» – поинтересовался Олег Эрастович.

«Всех троих».

«Так, понятно. Теперь слушай меня внимательно. Если ты будешь рыпаться, не доживешь и до утра. Сейчас я погашу весь свет и закрою тебя снаружи. Выруби также приемник, которого нет. Это что у тебя, Танжер? Тем более. Танжера сегодня в мире нет. Не подавай признаков жизни до моего прихода».

Он сделал все, как сказал, и неторопливо пошел в административный сектор, размещавшийся в уцелевшем притворе храма. Там, в красном уголке, полковник Лицевратов материл свою бухгалтерию, которая никак не могла подвести баланс в годовом финансовом отчете. Клонкрускратов с порога ему кивнул и потер ладонями уши, как будто бы с мороза, хотя на дворе было не больше пяти градусов минус. Лицевратов всем приказал оставаться на своих местах и прошел с шофером в свой кабинет. Там он включил радиоточку – шла трансляция патриотического концерта, посвященного приближающемуся XIX съезду, – и спросил, что случилось. Эпизод в «инструменталке» был ему рассказан во всех доступных деталях. Лицевратов, мужик примерно одного возраста с Клонкрустратовым, бывший фронтовой смершевец, что осталось у него на лице в виде спорадического тика, известного как «страх плевка», в данном случае только устало пожал плечами. Да разве Штурман раньше не слышал, как малолеток пускают по шоколадному цеху? Валера, ответил ему Клонкрустратов, вот этот случай ты должен взять на себя, просто ради нашей дружбы. Лицевратов кивнул, достал из письменного стола бутылку коллекционного «Еревана», они выпили и стали обсуждать проблему заядлого «плевела». Прежде всего надо его отсечь от никаноровских. А лучше всего вообще от всех блатных. Вывести его за черту лагеря. Почему бы тебе не отправить его на башню? Послушай, а это идея! Ведь там, на башне, у нас особый персонал, технари высшего полета плюс радиотехническая интеллигенция. Слушай, Штурман, котелок у тебя еще варит не хуже, чем в Боснии когда-то варил! Ну вот видишь, Валера, все, оказывается, в наших руках!

Тут вдруг полковник замолчал и задумался. Пару раз за несколько минут лицо его передернулось в «страхе плевка». В чем дело, друг? А дело, оказывается, было в том, что сверхсекретные работы в башне приближались к концу, а по их завершении может последовать спецраспоряжение вроде того, что было применено после строительства куйбышевского бункера. Мда, мы уже забыли о тех временах. О чем ты говоришь, нынешние времена в этом смысле ничем не отличаются от прежних. Ну давай не будем надолго загадывать. Знаешь что, давай мы отправим пацана на башню временно, ну, скажем, на три месяца как циклевщика полов без допуска к приборам. Ты за это время раскассируешь никаноровскую капеллу и вернешь парня в госпиталь с воспалением, скажем, легких. Ну, Штурман, ты меня, как всегда, поражаешь: у тебя каждая идея сразу выходит на другую, седлает ее и погоняет!

Развеселившись, друзья еще минут десять пореванились, вспоминая прошлое. Между прочим, вспомнили и ту девчонку, которая в 1944-м появилась в партизанском лагере, то есть ту, которую сейчас называют заслуженной артисткой СССР Кристиной Горской. Ты еще заходишь к ней, спросил Лицевратов. Ты у кого спрашиваешь, поинтересовался друг. У пропавшего без вести Моккинакки? Или у испарившегося вместе с войной Штурмана Эштерхази? Или, может быть, у своего шофера Олега Клонкрустратова? Полковник усмехнулся с некоторой победоносностью. А я вот захаживаю. Удивительная женщина! Каждая встреча с ней – это веха в моей жизни! А уж этот ее тигренок, названный в честь спецназовской легенды, весом в пять пудов; не поверишь, он ластится ко мне, как кот! Узнав от шофера, что Штурманочек и Юркин Дюк большие друзья, начлаг воспылал к своему узнику еще большим сочувствием. Слушай, Штурман, мы его после башни сактируем как туберкулезника!

После разговора с другом-начальником Клонкрустратов отправился назад, в «инструменталку». В обширном цеху было темно, только сильный луч луны падал через одно окошко, и в этом луче на

полу Юрка Дондерон заклеивал хлебным мякишем какой-то самодельный конверт. Олег сел в тени рядом с ним.

«Через полчаса за тобой придет сержант и проводит с вещами на башню высотки. Там будешь и жить и работать по циклевке полов. Учти, это объект самой высшей секретности. Будь осторожен, никому не рассказывай о нашей встрече».

«Спасибо вам за все, Олег! – очень твердым, поистине мужским, тоном сказал юнец. – Никогда не забуду того, что вы для меня сделали. У меня к вам вопрос. Случайно вы не знаете в этом проклятом доме такую девушку, Глику Новотканную? Не могли бы вы передать ей от меня письмо?»

Шофер начлага, не говоря ни слова, положил письмо в карман своего кожана. Джентльмены, как известно, чужих писем не читают, но мы, пожалуй, уже можем предать его гласности, поскольку знаем, что джентльмен передал его в руки адресату.

Дорогая Глика, darling!

Я нахожусь совсем недалеко от тебя, хотя и сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидимся. Помнишь ли ты песню Фрэнка Синатры «Over and Over»? Настроение примерно такое, на разрыв души. Вокруг меня монстры, посягающие на мою честь, but I am going to fight for that to the bitter end. Fortunetely, there are some miracles in this nusty world, и вот сегодня такое чудо свершилось: я нашел сильного друга.

Я часто вижу в мечтах картинку. Мы трое, ты, я и Такович, сидим у меня, курим, говорим о новом стиле bibop и свингуем, свингуем, свингуем up to the Heaven. Ну а потом Такович как истинный друг оставляет нас вдвоем. Надеюсь, что он избежал моей участи. Если увидишь его, передай ему my kiss and hug.

Кстати, о Небесах. Я видел дважды, как ты пытаешься выйти в пространство. Молю тебя, перестань! Don't fly away!

Yours ever,

Ю. Д.

Бал Ариадны

В январе 1953-го, в ночь под Старый Новый, то есть юлианский, год двери дома Новотканных были открыты для высшего общества страны. Даже работники могущественной организации Спецбуфета никогда не видели такого блестящего скопления гостей. Подъезжали академики и генералы, титаны охранительной системы, гиганты миролюбивой дипломатии, истолкователи таинств марксизма со Старой площади, победители пространств, увенчанные гирляндами наград инженеры человеческих душ, воздвижители многоэтажного будущего, гении ведущих театров, а также важнейшего – для нас – искусства кино. И все по возможности с супругами. Никогда еще принародно не демонстрировалось превосходство нашей ювелирной системы: какие кулоны, ожерелья и браслеты, какие тиары и диадемы! И все в народном переяславском духе. Одна лишь виновница торжества Ариадна Рюрих-Новотканная была без единого камушка. Стройная и высокая, в длинном шелковом платье с оголенными плечами, она демонстрировала то, чем горделиво обладала, без всякого дополнительного освещения. Ну что за юбилярша! К сорока годам она подходит в полном совершенстве социалистической женщины и нисколько не чурается ближайшего соседства с полнейшим воплощением социалистической юности, своей дочерью Гликерией. Напротив, все время целуются, заставляя даже слегка чуть-чуть замшелых членов Политбюро поправлять что-то в карманах.

Естественно, все гости прибывали с подарками, и в отличие от бытовавшего в государстве обычая тут же засовывать приносимое в темный угол «другой комнаты», здесь все пакеты вскрывались в присутствии дарителя и, конечно же, повергали в немедленный восторг юбиляршу, дочь ея и ея супруга, которого она к некоторому ужасу некоторых гостей называла Ксавкой и который был явно не совсем в фокусе. С подарками, увы, иной раз наблюдались и накладки. Принародная распаковка оных показала, например, наличие семи одинаковых чехословацких чисто хрустальных люстр и даже с почти идентичными инскрипциями: «Сияй, как этот хрусталь!» или «Затми этот хрусталь!» – в общем, в этом роде. И все-таки несмотря на этот небольшой (Ариадна: «милый, забавный») куршлюз продолжались открытие подарков и соответственная

реакция на них в присутствии дарителя, что вызвало скопление гостей еще в нижнем огромном холле Яузского чертога.

При открытии подарков в один момент произошло и нечто весьма сокровенное. Одна из более-менее скромно иллюстрированных дам, по всей вероятности, из ЦК профсоюзов, преподнесла юбилярше небольшую коробочку, обернутую в историческую бумагу с орлами и коронами. Осторожно распечатав столь редкий сверток, Ариадна увидела внутри изумительную шкатулочку с красочным портретом Ея Величества Екатерины Великой. Все-таки несмотря на все чудовищные разграбления страна еще богата бесценным антиквариатом, подумала она, и не успела она завершить свою мысль, как шкатулочка раскрылась с двумя тактами какого-то небесного менуэта. Внутри находился крохотный свиток бумаги, еще более плотной и драгоценной, чем оберточная. Раскатав этот свиток, она прочла: «Chere ami! Avec votre fils nous allons a la lumiere. Nous vous prions d…agreer nos salutations distinguees. CII». Юбилярша слегка чуть-чуть качнулась от острейшего исторического чувства. Стала выискивать глазами дарительницу-профсоюзницу и нашла ее неподалеку. В имперской позе Дама стояла, направив на нее милостивое свечение очей. Кивнув, испарилась. Ну, конечно же, это была Она! Не может же быть, что это был просто дружеский розыгрыш какой-нибудь утонченной близкой натуры вроде собственной дочери и ее жениха. К тому же они уже сделали ей чудеснейший подарок в виде очаровательного щенка-добермана, явившегося на свет после вязки дондероновского Дюка с высокопородной Кэтти, баронессой Померанской.

Жених между тем стоял в толпе приятно возбужденных гостей и разговаривал с Лаврентием Берией. В отличие от других лауреатов он не вывесил всех своих семи медалей, а ограничился значком делегата XIX съезда на лацкане скромного костюма, пошитого, между прочим, на Old Bond Street. Почувствовав взгляд Ариадны, он послал ей воздушный поцелуй.

Задумано празднество было с большим размахом: прием на 18-м этаже с открытием всех его площадей, за исключением опечатанной квартиры адмирала Моккинакки, затем переезд в закрытые для широкой публики этажи гостиницы «Москва» и там продолжение приема с переходом за общий стол и последующим балом в сопровождении привезенного из мест не столь отдаленных джаз-бэнда Эдди Рознера. Пока что упивались первоначальной фазой в высотном здании. Все казались друг другу и самим себе донельзя элегантными и светскими и, в принципе, мало отличимыми от гостей подобных сборищ в империалистических кругах, о которых никто и не думал в эти часы. Ну случались, конечно, и тут иные накладки, кто может без этого обойтись! Вот, например, Булганин Николай Иванович позволил себе хлопнуться в обморок при виде довоенной балерины Ольги Лепешинской. Те, что были в окрестностях этой малоприятной сцены, были несколько огорошены, однако увидев, что выздоравливающий на ковре государственный деятель тянется к туфельке Прекрасной Дамы геноссе Риббентропа, чтобы налить в нее массандровского шампанского, просто-напросто зааплодировали.

Некоторое число некоторых faux pas совершил и наш собственный некоторый геноссе, крупнейший государственный деятель из братской ГДР, глава северного района рабоче-крестьянской республики Тыш Иохим Вольфгангович. Во-первых, явился одетым не по сезону в ослепительно белую пару, украшенную к тому же коллекцией монгольских и китайских орденов, что само по себе представляло некоторую дипломатическую загадку. Во-вторых, слишком долго передвигал свое тяжелое трудовое тело слишком близко от юбилярши, не давая другим подойти. В-третьих, был уже с самого начала слегка почти мертвецки чуть-чуть пьян. Забирая со спецбуфетовских подносов утонченные сандвичи сразу дюжинами, он все время повторял одну и ту же фразу, олицетворяющую одну и ту же длинную мысль:

«Варум, геноссен, мы бес-печ-но полушайте тикки-дрикки кляйне бутерброттерссс? Унзере пролетаришен зондеркомманден саслюшиствуйте бессер ессен, вилькамен нах Росток! Ариадна фон Рюрих, фарен нах хайматлянд, гнедике фрау!»

Как и некоторые другие бывшие гитлеровцы в руководстве ГДР, он был, очевидно уверен в немецком происхождении блистательной дамы социализма. Ариадна, пытаясь урезонить фрица, похлопывала того по загривку, а сама делала знаки Фаддею – немедленно в резиденцию!

Она была донельзя ободрена подарком Императрицы. Уже много недель до этого безоблачного и пока еще ничем не омраченного собрания московского высшего общества она была сама не своя. Ей казалось, что на ее семью, на всех ее любимых, на всю страну и прежде

всего на Москву, на эту только сейчас зародившуюся неоплатоновскую утопию, надвигается какой-то неясный, еще не установленный, но уже подмигивающий похабным глазом, ну, скажем, Януарьевича, ужас. Однажды, с утра, ее поразила, ударила прямо под груди невероятная мысль – неизбежен атомный ужас! Взрыв может произойти в любую минуту и, возможно, в самой сердцевине, в Кремле! Она растолкала сладко похрапывающего после командировки на Новую Землю (разумеется, в компании с Нюркой) Ксаверия и спросила его в упор: возможно ли такое, грибовидное, апокалиптическое, немыслимое? Развратник, продрав похабненькие зенки, начал бурно хохотать. Конечно, возможно, если не будет укорочен этот придурковатый Курчатов в его институте на далеком Соколе. Она тут стала его щипать, хватать за разные места, слегка покусывать и неожиданно, впервые за долгие месяцы, совокупилась с ученым негодяем.

Страх между тем не отступал. Она была уверена, что эти чувства в той или иной мере испытывают все более или менее близкие к власти люди. Все живут под этим грузом, все страдают, и все скрывают этот мрак друг от друга. И вот приходит юбилей, и что же мы видим? Веселую и легкомысленную толпу вельмож, стремящихся получить максимальное совместное удовольствие от этого вечера Ариадны. Все устали от постоянного страха, и не только атомного, а – ну завершай мысль – бесконечно сталинского. Ах, если бы еще можно было во всеуслышанье сказать, что это почти античное собрание освящено Великой Екатериной!

Что касается главного ее помощника в организации праздника, Кирилла Смельчакова, то он, едва ли не в унисон с Ариадной, испытывал чувство освобождения от гнетущей тревоги, что довлела над ним все осенние месяцы и только усилилась с наступлением зимы. Атомные грибы, впрочем, не вздымались в его воображении: начнут вздыматься, все тревоги отлетят в одночасье. Гораздо больше его беспокоили промельки каких-то быстрых, словно десант, фигур, перебегающих из тени в тень по ночам на пустынных улицах, особенно в районе от Трубной до Сретенки, когда возвращаешься за рулем домой. Будто тащат что-то, какие-то зарядные ящики, что ли. Сосредоточишь взгляд, и они тут же исчезают. Иногда и днем ни с того ни с сего вдруг в глазах стали проплывать какие-то черные пятнышки, в чем-то сходные с фигурами десанта. Пошел к офтальмологу в поликлинику Минобороны, звено ШОЗ. Опытный специалист ему сказал, что пятнышки в глазах – это не что иное, как так называемые «плывуны», почти микроскопические сгущения стекловидного вещества в глазных яблоках. Они скоро пройдут, вернее, вы их перестанете замечать. А вот насчет мелькающих фигур, это, товарищ полковник, не по нашей части.

В Москве, между прочим, люди стали чаще заглядывать друг другу в глаза с каким-то странным вопросительным выражением. При полной стабильности мимики в зрачках вроде бы дергался какой-то представитель хаоса, будто бы домогался ответа: «Ну что теперь делать-то будем, братья и сестры?» В принципе, народ при полном отсутствии информации очевидно чувствовал, что надвигается пора новых и невероятных злодеяний правительства: то ли уничтожение евреев, то ли вторжение в какую-нибудь неслабую страну, то ли окончательный нажим на природу. Чувствование себя не винтиком, а мощным винтом в этой системе отнюдь не способствовало лучезарности. Чернота черноты сгущалась.

- Тезей, вздымай фашистский парус, —
- Тебе командуют рога. —
- Сожри таинственный папирус,
- Ты в нем не смыслишь ни фига!

И вдруг все изменилось в прозрачный морозный вечер юлианского Нового года. Москва-Ква-Ква под свежим снегом вновь обрела смысл и уют. Съезжаются тупые и страшные бонзы со своими немыслящими женами, и вдруг все собрание превращается в истинный карнавал. Такова магия Ариадны. Она говорит совтеткам: «Девочки, приезжайте в брильянтах!», и все начинает сверкать, как детский праздник, и тетки стараются преобразиться в девочек-телочек, и тяжеловесное мужичье начинает слегка фривольничать, жаждет надраться, но не в обычном мрачном ключе, а в легком, юмористическом, карнавальном, и даже страшный Берия начинает казаться не палачом, не вурдалаком, а просто обычным таким закавказским жуликом, смешным эротоманом.

Берию, как магнитом, тянуло к юбилярше, этому неприкосновенному сокровищу партии, но еще больше к ее дочке, несравненной и неотразимой Гликерии. Он намекнул ей, что знает о ее

увлечении классической музыкой, особенно бетховенскими квартетами в исполнении довольно странной компании во главе с аккордеонистом Шостаковичем. Заметив, что она с какой-то неадекватной, понимаете ли, тревогой изменилась в лице, он стал нежнейшим и совершенно, подчеркиваем, джентльменским образом успокаивать юную прелесть, поглаживать ее по продолговатой спортивной спинке и даже слегка чуть-чуть ниже, замирая и вздыхая над вожделенной расселиной. Хотелось бы вместе с вами, душа моя, побывать в Консерватории, а потом и поужинать в компании Шостаковича, поговорить о формалистической интерпретации великого Людвига ван Бетховена, замеченного еще вождем пролетариата Лениным Владимиром Ильичем.

Вдруг он почувствовал чей-то малоприятный взгляд, повернул голову и увидел, что на него смотрит Кирилл Смельчаков, гэрэушник и любимец тиранического вождя. Глика в тот же момент исчезла. Он глянул через плечо на стоящего прямо за спиной Кобулова. Тот, набычившись, смотрел на Смельчакова и даже не заметил исчезновения девушки. Берия фальшиво улыбнулся гэрэушнику – и наверняка любовнику этой прелестной сучонки – и поманил его к себе пальцем. Смельчаков нагло усмехнулся и отвернулся к стоящему рядом с ним артисту Черкасову. Пришлось вместе с Кобуловым к ним подойти и отодвинуть в сторону Черкасова.

К таким боевикам, как Смельчаков, то есть в доску своим, члены Политбюро обычно обращались на «ты». «Давно тебя не видел, Кирилл, как живешь? Ты случайно не знаешь, кто эта девушка, которая только что от меня упорхнула?»

Смельчаков почему-то вместо ответа обратился к Кобулову: «А вы как сюда попали, Амаяк Захарович? Вас разве приглашали?»

Берия слегка дернулся, как бывает в боксе, когда пропускаешь незаконный удар по уху. «Ты что, Кирилл, рехнулся? Амаяк сюда со мной пришел, не понимаешь? Почему на вопросы не отвечаешь? Тебя про девчонку спрашивают: кто такая?»

«Эта девушка – моя невеста», – медленно и четко, как будто кретину, проартикулировал Кирилл.

«Ну вот и прекрасно! – расхохотался Берия. – Тащи ее сюда! Будем вместе веселиться!»

Кирилл придвинул свое лицо к его лицу и сказал так, чтобы никто, кроме монстра, не слышал: «Если ты, Лаврентий, еще раз притронешься к-к-к Глике, я тебя убью».

На этот раз Берия даже не моргнул. В манере тифлисского хулиганья его юности он прошипел в ухо Кириллу: «Не успеешь, гад! Через час мы с Амаяком будем сдирать с тебя шкуру».

«Этого ты не успеешь сделать, Лаврентий», – почти в той же манере отбил Кирилл и положил руку в карман.

Трудно сказать, чем бы кончился этот довольно содержательный спор. Читатель может по своему собственному темпераменту и вкусу поиграть с вариантами, мы лишь скажем, что он был прерван самым неожиданным образом. Через анфиладу комнат из кабинета Ксаверия Ксаверьевича прошел резкий звонок главного телефона страны. Жуткая эта трель была знакома лично наверняка не менее чем половине присутствующих, остальные же жили и трепетали в ожидании подключения к трели.

Ксаверий Ксаверьевич, в этот вечер разыгрывающий графа Ростова, выпал из роли и прогалопировал через анфиладу к аппарату цвета обоссанной слоновой кости. «Да, товарищ Сталин. Сердечно благодарю, товарищ Сталин. Одну минуту, товарищ Сталин». И завопил, как сирена в его синхрофазотроне перед началом разгона частиц: «Кирилл, тебя товарищ Сталин к телефону!»

В наступившей поистине гоголевской тишине Кирилл Илларионович Смельчаков, сын таинственно изчезнувшего с международной арены – впрочем, как и с внутринародной арены – специалиста по заключению многоступенчатых финансово-экономических договоров, четкими шагами мимо расступившихся гоголевских масок прошел в кабинет и, не закрывая двери, поднес трубку сначала к левому (от волнения), а потом точно – к правому уху. В другом конце огромной квартиры в этот момент из радиоточки зазвучал вальс Арама Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад». Он продолжался в течение всего последующего разговора и завершился точно по завершении оного.

Вот что вся потрясенная публика услышала словами Смельчакова вперемешку с недосягаемостью Сталина.

«Здравствуй, Иосиф. Очень рад тебя слышать, Иосиф.

Спасибо, Иосиф. Обязательно передам.

Она машет тебе рукой, Иосиф.

Да, Лаврентий тоже здесь. Он машет тебе рукой, Иосиф.

В ходе праздника, Иосиф, мы с Ариадной выпиваем «Киндзмараули».

С Лаврентием, Иосиф, мы выпиваем несравненного «Греми».

Нет, не ссоримся, Иосиф, чего нам ссориться?

Что звучит, Иосиф? Прошу подождать минутку, навострю ухо. Это вальс Арама Хачатуряна звучит к драме Михаила Лермонтова «Маскарад».

Согласен, батоно: гениальный армянин. Гениальный армянин и человек.

Нет, Иосиф, он не еврей. И Шостакович не еврей. Еврей у нас Карл Маркс, батоно.

(Отдаленно проходят раскаты сталинского смеха.)

Очень жаль, Иосиф, что ты не можешь к нам сюда, в твою любимую высотку, приехать. Повеселились бы по-настоящему!

Я знаю, что у тебя нога слегка чуть-чуть немного болит, Иосиф. Еще раз тебе советую тигриную мазь. Поверь, Иосиф, у нас тут есть специалист по тигриной мази.

Моя невеста Глика машет тебе рукой. Она тебя обожает, Иосиф. Да-да, в прямом смысле – о-бо-жа-ет!

Да, мы готовы с ней к началу «Новой фазы», Иосиф.

Да, вся наша семья готова к началу «Новой фазы». Все машут тебе кто чем: руками, ушами, носами, Иосиф.

Да, малость поддал, Иосиф. Спасибо, Иосиф. Обязательно передам Ариадне твой персональный поцелуй. Так точно, как когда-то, товарищ главком. Все собравшиеся припадают к твоим историческим сапогам, батоно! И поздравляют тебя с этим чертовым Новым годом! Тьфу, тьфу, тьфу! Ура!»

После этого, собственно говоря, можно было и закрывать все празднество. Приятное настроение, нарастающая экзальтация, и вот – еще до ужина, еще до танцев – восторг, триумф, апофеоз! Можете не сомневаться, товарищи, списки приглашенных уже давно у него на столе! Возникает новая элита, товарищи, и мы ее творители. (Не можем не сказать, что в те времена слово «элита» еще не стало, как сейчас, жвачкой толпы; вполне возможно, что оно вошло в обиход именно после этого «Вечера Ариадны».) А вы не в курсе, товарищи, что имел в виду родной наш Иосиф Виссарионович, говоря о «Новой фазе»? Как вы думаете, было бы уместно обратиться с этим вопросом к нашему столь выдающемуся Кириллу Илларионовичу? Я думаю, что это было бы полностью неуместно, даже слегка чуть-чуть несколько бестактно, товарищи. Не нужно забегать вперед, все будет сказано в нужное время и в нужном месте. Одно ясно – мы на пороге великих исторических сдвигов! А вот одно историческое событие уже произошло на наших глазах, или, вернее, в наших ушах, дорогие товарищи мужчины и любезнейшие наши красавицы-женщины! Впервые публично наш выдающийся семижды сталинский лауреат Кирилл Смельчаков назвал Глику Новотканную своей невестой. Осмелюсь заявить, что считаю этот союз значительным событием всей нашей социалистической культуры. Лучший лирический поэт страны соединяется с первой романтической красавицей общества.

Поднимем бокалы, содвинем их разом! Сказал Смельчаку Роттердамский Эразм. Это уже шутят братья по поэтическому цеху, и с каждым бокалом все свободнее развязываются языки, и вот уже поэт «Землянки» Сурков опять заманивает хохочущее общество в свои рифмы-ловушки:

- В саду над старым буераком
- Художник ставил деву в позу.
- Нарисовав большую розу,
- Он покрывал картину лаком.

Герой сегодняшнего вечера, личный друг великого вождя, разговаривал с виновницей торжества, исторической подругой великого вождя. Обмахиваясь веером и рассылая во все стороны улыбки, та тихо ему говорила:

«Ну ты знаешь, я не могла не пригласить Лаврентия: Ксавка, действительно, с ним подружился во время работы над устройством, но вот уж не думала, что тот явится со всей своей кодлой».

«Это был сюрприз не для тебя, Адночка, а для меня. – Зная, что все взгляды направлены на них, Кирилл улыбался ей, как будто уже обсуждал будущую жизнь в лоне семейства Новотканных, а произносил при том довольно страшные вещи. – Я взбесился только, когда он начал оглаживать Гликину попку».

«Что ты ему сказал?»

«Сказал, что убью».

Она подняла брови: «Кого?»

«Его».

Она расхохоталась: «Ах, Кирка, Тезей чертов!»

Тут произошло в некотором смысле силовое перемещение светского общества, и к Кириллу с Ариадной приблизилась вся бериевская компания: сам Лаврентий, братья Кобуловы, Мешик, Рюмин, Абакумов, приезжий Багиров. Все они улыбались с почти нескрываемым восхищением. Берия покачал ладонями перед своей расплывшейся физиономией. «Вот герой, вот это герой! Слушай, Кирилл, да ты просто античный герой! Какое самообладание, понимаешь! Какой такт, какой юмор! Неудивительно, что товарищ Сталин избрал тебя на роль своего личного друга!» Он щелкнул пальцами и строго проследил, как звено отборных спецбуфетовцев под управлением Фаддея и Нюры разносит шампанское. Затем снова воссиял своей великолепнейшей фальшью. «Ариадна, родная, надеюсь ты позволишь нам даже на твоем юбилее поднять тост за личного друга великого Сталина?» Чокаясь с Кириллом, он вроде бы даже сделал поползновение к объятию, но притормозил. Что касается Кирилла, тот как раз не возражал против высшего проявления дружбы. Он крепко обнял Берию и шепнул ему прямо в разящее «Шипром» ухо: «Хорошо, что ты все понял, Лаврентий!»

Объятие получилось таким динамичным, что шампанское в бокале лауреата расплескалось. Извинившись за свою неловкость, он взял с подноса другой бокал и тут же выпил его до дна. Преступная группа разразилась аплодисментами. В принципе, все может сейчас разыграться в духе «Старого Чикаго», подумал он. Вот сейчас, именно в следующий миг, Алькапон с криком «Предатель Смельчаков хотел меня убить!» выхватит свой парабеллум, и они все начнут в меня палить. Миг прошел благополучно. Значит, стрельбы не будет. Они просто не знают, сколько тут моих людей, и не хотят быть убитыми со мной заодно. Они просто не знают, что здесь нет никаких «моих людей», кроме Петра Чаапаева с двумя друзьями.

«Кирилл Смельчаков, товарищи, – это пример для всей советской молодежи. Уверен, что новое поколение будет соревноваться за право называться смельчаковцами!» – провозгласил Берия.

Кирилл не отрывал от него пристального взгляда, как бы говорившего: «А вот это ты зря, Лаврентий! Разгласить на вечеринке самый важный секрет вождя, которого и тебе вроде бы не полагалось знать! Конечно, для большинства это просто высокопарная фигура речи, однако здесь наверняка есть те, которые давно уже почувствовали, что в глубине системы возникла сверхтайная силовая группа. Я понимаю, ты шантажируешь, хочешь мне показать, что ты в курсе всего, но ты зря это делаешь, зря, генацвале, зря».

Краем глаза он заметил, что Чаапаев и его молодые друзья, до этого беседовавшие с Гликой и двумя ее сокурсницами, выдвигаются на более активную позицию. Берия, кажется, понял смысл его взгляда и последовавшего за ним молчания. Давно было замечено, что всемогущий владыка всего тайного в Советском Союзе с его физиономией зловещего и наглого плута в случаях афронта на глазах темнел, все в нем опускалось, и он начинал напоминать некую жалкую тварь. Вот и сейчас он стал похож на длинноносого лысого осла. Впрочем, он нашел силы расшаркаться перед юбиляршей. «Позволь нам откланяться, дорогая Ариадна, звезда наших очей. Чекисты родины, к сожалению, всегда в эту ночь проводят совещание. Желаю всем беззаботного веселья. Мы храним ваш покой!»

Все без исключения гости, а также и хозяева вздохнули с облегчением. По идее, в появлении Берии никто в этом собрании не видел ничего противоестественного. Ведь юбилярша Ариадна, как многие слышали, действительно была еще недавно звездой нашей внешней разведки, а эта отрасль, как известно, числится за органами пролетарской диктатуры. Непонятно только, почему Лаврентий Павлович явился в таком массивном количестве, но уж если явились, извольте: хлеб-соль и скатертью дорога. И все стали снаряжаться в недалекую и развеселую дорогу, в арендованный на эту ночь огромный ресторан и танцевальный пол гостиницы «Москва». В

потоках юмора, веселья и пьяноватого уже слегка чуть-чуть песнопения от центрального подъезда Яузской высотки стали отбывать ЗИСы-110, ЗИМы, «Бьюики» и «Линкольны».

Всю ночь в гостинице играл большой состав джаз-оркестра под управлением Эдди Рознера, в большинстве своем собранные из разных лагерей львовские евреи. Их солистка Эстер Блюм, отбывающая десятилетний срок в Сусумане, завораживающим контральто выпевала слова медленного вальса собственного рознеровского сочинения:

Во Львове рэмонт капитальный идет.

Ждем вас во Львове!

Во Львове вэсэнняя липпа цвэтет.

Просим во Львов!

Мы танцевали с Ариадной под этот ритм то вальс-бостон, то что-то вроде слоу-фокса. Она чуть откидывалась назад, на мою руку, и поднимала к вращающемуся на потолке многоцветному шару свои мечтательные глаза и сладко улыбающийся рот. Я представлял себе, как она танцует в берлинском ночном клубе с высокопоставленной нацистской сволочью. Здешние красные гады с большим интересом следили за тем, как мы выписывали с ней на паркете довольно сложные па. Воображаю, чего только они не говорили о нас в ту кристально-морозную ночь чертова Нового года.

Посмотрите, какого нового мальчика подцепила наша неувядающая Ариадна! Довольно странный юнец, вы не находите? В нем что-то есть от стиляги, не правда ли? Да они там все переплелись с «плевелами» в этой Яузской высотке. А как его зовут, если не секрет? Вот именно секрет, а если по секрету, его зовут как-то странно, на эстрадный манер – Вася Волжский. Жаль, что чекисты ушли, можно было бы узнать у них его настоящее имя.

Ну что вы болтаете, никакой он не Вася Волжский, его зовут Костя Меркулов, он ее родной племянник по материнской линии. Юноша сложной судьбы, студент-медик. Сложной судьбы, вы говорите? Сейчас это называется «сложной судьбой»? Говорят, что его выгнали из института за то, что скрыл эту сложную судьбу. Я знаю, что он живет в семье Новотканных на правах родственника. Уж кто-кто, но Ариадна Рюрих может это себе позволить. Что позволить? Вы не понимаете что? Она просто заботится о племяннике, опекает его с ног до головы. Вот именно, очень точно – с ног до головы! Ну, знаете, каждый понимает в меру своей испорченности. Да вы посмотрите, какой на нем костюм. Она просто привела его в наше ателье и приказала: сделайте ему костюм в «оксфордском стиле». Вот так!

Черт с ними, пусть болтают, что хотят. Меня больше интересует оркестр, чем эта публика. По сути дела, я впервые вижу и слышу биг-бэнд в полном составе, и это, конечно, – нечто! Взять хотя бы брасс-секшэн – это нечто! – шесть трампетов, четыре тромбона, шесть саксов в ряд плюс отдельно сидящий баритон для пущего эффекта! Теперь возьмите ритмическую секцию: четыре контрабаса, два ударника, один со всеми классическими прибамбасами, второй с африканскими бонгами плюс, к моему полнейшему удивлению, электрическая гитара! Добавьте к этому потрясный концертный рояль, четыре скрипки (для советской сусальности), виброфон, и вы получите лучший арсенал джазового оружия на территории СССР!

Конечно, мне как человеку бывалому, в отличие от московских друзей-«плевел», доводилось видеть на сцене что-то вроде биг-бэнда. В частности, еще в 16-летнем возрасте в Магадане, где развлекала дальстроевские кадры организация под названием «Эстрадный театр МАГЛАГ» (то есть Магаданский лагерь). Также и в Казани: расформированный там шанхайский джаз Лундстрема иногда собирался почти в полном составе на танцах в Доме офицеров. Но вот именно «почти в полном» и никогда не в полном. Полный состав впервые вот сейчас вижу, на юбилее Ариадны. И какие ребята классные играют – это нечто! – настоящие профессионалы! Юбилярша горделиво мне на ухо шепнула: «Со всех лагерей собирали!» Я поинтересовался: наверное, целый месяц репетировали для такого золотого синхрона? Три месяца, уточнила она. С репертуаром, конечно, были большие сложности. Минкульт категорически, ссылаясь на ЦК, запретил «американщину». Пришлось выискивать лихие пьески из довоенного советского джаза. Впрочем, и туда прокралась «американщина» под маскировкой советской песни. Например, вот эта всем известная «На карнавале под сенью ночи», мне музыканты сказали, есть не что иное, как Lady from Manhattan, каково? Взяли также кое-что из старого репертуара Эдди. В частности, например, вот эта вещь, под которую мы сейчас танцуем, «Приглашение во Львов», была им написана в

честь вхождения наших войск в 1939-м году. В общем, чего только не сделаешь для любимого племянника. И тут она подмигнула мне в стиле Дины Дурбин.

Я был поражен, чтобы не сказать – потрясен.

«Ты хочешь сказать, Ариадна, что это ты для меня устроила весь этот джаз?»

«А ты как думал?» Она дерзковато тряхнула своей короткой, но великолепной гривкой.

«Ариадна, скажи мне, ты реальная или воображаемая?»

Она притворно надулась.

«Ты прекрасно знаешь, что я реальная».

Один за другим вставали с инструментами и трубили ряды трубачей, тромбонистов и саксофонистов. Приближалась кода. Эстер Блюм, медлительно играя руками и ногами, демонстрировала свою слегка чуть-чуть цинготную улыбку. Каково приходится этим ребятам: приглашают во Львов, а сами возвращаются на Колыму, на Инту, в Казахстан переодеваться из смокингов в лагерные бушлаты.

Как только кончилась эта пьеса, Ариадна немедленно бросила меня и быстро направилась к каким-то массивным генералищам, если не маршалам, с их супругами, впрочем, довольно миловидными тетками. Я остался один в «оксфордском» костюме с новым паспортом и трудовой книжкой в кармане. И тут меня окликнули по-нашему: «Эй, Такович!» Приближалась сталинистка Глика со своим Кириллом, личным другом Сталина.

«Кирилл, познакомься, это вот и есть тот самый, широко известный в узких кругах Так Таковский!»

Он удивил меня совершенно дружеской и какой-то классной улыбкой. «Рад познакомиться. Я слышал, что ты поэт? Как-нибудь заходи, почитаем». И с этими словами он тут же отчалил, явно давая нам возможность поговорить наедине.

«Это что, правда? Ты выходишь замуж за „Семижды“?» – спросил я.

Она рассмеялась. Удивительная метаморфоза: вчера еще девчонка, а сегодня, в длинном платье и с этим смешком, уже светская красавица. Уже как бы не дочь Ариадны, а ее сестра Федра.

«Это он объявил меня невестой, но от невесты до жены дистанция солидного размера. Еще надо окончить университет и переселиться в Абхазию».

«В Абхазию?»

«Вот именно, в Абхазию».

«В прибрежную или в луговую?»

«В поднебесную. Как все на свете».

Тут снова заиграли. Вроде бы советская штучка, а на самом деле довольно известная «американщина» тридцатых годов, Too many tears. Мы пошли с ней танцевать.

«Как тебе этот джаз?» – спросила она. Я давно заметил, что ей нравится наше искусство. Вроде бы противоборствует ему как выдающаяся комсомолка, а на самом деле непроизвольно подтанцовывает, когда ловит заразительный свинг.

«Знаешь, я больше всего жалею, что наша компания здесь не присутствует, эти „плевелы“. – Я стал отвечать и заметил, что она смотрит на меня с какой-то серьезной симпатией. – Они ведь по-настоящему любят джаз, без балды. Взять хотя бы Боба Рова, обо всем забывает, когда слышит Армстронга. И не говоря уже о нашем узнике, Юрке Дондероне».

«Ты знаешь, что он у нас поблизости сидит, на Швивой горке?»

«Знаю. Я ему пару раз передавал кое-что с одним шофером. Однако похоже, что его недавно куда-то перевели».

Она вдруг перешла на еле слышный, как будто бы какой-то вентрологический шепот:

«Такович, у меня к тебе записка от Юрки. Сейчас я вложу ее тебе в ладонь. Здесь не читай, только на улице, не на виду. И сразу сожги».

Снова стали волнами наплывать то трубы, то тромбоны, то саксы Эдди Рознера. «Так много слез, – пела Эстер Блюм. – И совсем не понапрасну…»

Я вышел из гостиницы и по хрустящему под ногами предутреннему снегу прошел подвыпившей походкой на середину Манежной площади. Открытое пространство как бы прикрыло мое желание как можно быстрее прочесть Юркину записку. Она гласила:

«Так, привет! Ты не можешь себе даже представить, где я сейчас нахожусь. Витаю над всеми вами – это нечто! Иногда вижу, как Глика стартует со своей террасы и пытается воспарить до нашего уровня. Очень тебя прошу воздействовать на нее, чтобы прекратила эти безрассудные полеты. Озирая с высоты окрестности, я прихожу к выводу, что планирование отсюда вниз еще возможно, однако попытки набрать высоту чреваты капутом.

Очень тебе благодарен за твои подарки, особенно за фотографии Бени Гудмана и Майлса Девиса, а также за великолепную табачную смесь. Кручу длинные самокрутки и по ночам, можешь себе представить, слушаю прямые трансляции из клуба «Половинная нота». Появился новый интересный парень по имени Джерри Маллиган. Он играет, как Чарли Паркер, то есть в стиле bibop, но также и свингует по-своему.

Работаю я вообще-то по-половому, скребу, скребу день-деньской, но об этом… Стоп, пришли со шмо…»

Написано это было на таком крошечном клочке бумаги, что я еле различал бисерные буковки. Держа послание в глубине ладони, я полез за зажигалкой, чтобы уничтожить его, как это было приказано Гликой, однако вдруг клочок самовозгорелся и тут же исчез в крохотном пламеньке; я даже не почувствовал боли.

Я вроде бы догадывался, что связь с Дондероном поддерживается с помощью того же самого длинного малого, шофера, который однажды окликнул меня во дворе. Надо будет при следующей встрече попытаться его разговорить, может быть, выпить вместе, и узнать, чего больше в этом послании – бреда или иносказаний? Пока что мне пора направить стопы на вокзал: первая электричка отходит в 5.15. В Звенигороде, где я сторожу дом Новотканных, меня ждет блаженная безопасность, двухметровые сугробы и пять моих верных собак дворянской породы.

Шарашка на высотке

На башне Яузской высотки, где Юрка Дондерон нашел убежище от мужеложцев Никанорыча, работало не менее тридцати зэков-мужчин, безнадежно тоскующих по бабам, иными словами, онанистов. Все вместе ночевали в обширном помещении на чердаке и спали не на нарах, а на обычных железных кроватях с панцирными сетками. Для мастурбации использовалась кубовая, там поддерживалась интеллигентная очередность. Пахло, вперемешку с секрецией, табаком, потом, крепчайшим чаем, чтобы не сказать чифиром, иногда пердежом. Если последнее происходило в громком ключе, немедленно начинали считать: «В этой маленькой компанье кто-то громко навонял! Раз-два-три, это будешь ты!» – тут же набрасывались на незадачливого избранника с понтом лупить, ну и расходились в несколько приподнятом настроении. В круглых окнах этой чердачной спальни, или, как ее здесь называли, «зэковки», то есть самого высокого, примерно 35-го этажа высотки, то стояла неподвижная серая мгла, это когда туча седлала шпиль, то вдруг открывалась бездонная звездная пустота с пробегающими кучерявостями, в которых все зэки, включая и Юрку, пытались углядеть очертания вожделенных женщин.

Трудно было понять, что там, в этой гигантской башне, обустраивается: то ли какой-то суперглавный антиатлантический командный блок, то ли дом-дворец, московская резиденция какого-нибудь континентального коммунистического владыки, вроде Мао Цзэдуна. Для командного блока слишком уж все тут обставлялось дорого и шикарно: тут вам и мрамор, тут вам и красное дерево, штофные обои с золотыми и серебряными нитями, гобелены счастья и труда по мотивам социалистического реализма, обеденный зал с созерцающими со стен головами национального зверства, спальни с кроватями непомерной ширины и с самораздвижными балдахинами, каминные салоны с креслами, дающими покой любой самой неспокойной пояснице, кабинет-библиотека с уходящими глубоко под потолок полками, вместилищем всех полных собраний сочинений классиков как отечественной, так и марксистско-ленинской литератур. Привозили великолепные туркменские ковры и штабели штучного кедро-дубового паркета; та самая нива, на которой с бригадой из пяти мастерюг трудился бывший «плевел», а ныне исправляющийся рабочий.

С другой стороны, трудно было понять, для чего такому роскошному жилому дворцу такое огромное количество управляющей и следящей аппаратуры. Везде тянулись и маскировались то в

стенах, то под паркетом многочисленные кабели. Практиковалось также управление приборами методом под названием «фотоэлемент». Двери открывались и закрывались сами по себе. Повсюду опробовались экраны непомерной величины. Радиотелефонное обеспечение осуществлялось роботами, напоминающими пауков. В глубине башни вроде бы обитал самый секретный узел связи с выходом на все радары стратегической авиации, а также на зарубежную агентуру через подвешенные в стратосфере шары.

Конечно, для полного укомплектования всех этих устройств требовался штат высококвалифицированных спецов, и он был собран усилиями Государственного управления лагерей при МВД СССР. Общее руководство осуществлялось несколькими полковниками из Военно-технической академии Минобороны, однако сложнейший монтаж проводился вот именно доками из числа заключенных, которым было обещано сокращение сроков наказания, а иным даже реабилитация. Так и было сказано: «Родина не останется в долгу!» Вот такая над крышами Москвы возникла высотная шарашка. Питание было нормальным: белки, жиры, углеводы, комбинация витаминов и минералов для улучшения мозговой деятельности. Гарантировались ежедневные получасовые прогулки по бордюру. Раз в неделю, в целях борьбы с отвлекающим от умственной деятельности геморроем, в автобусе отвозили на стадион «Динамо» для игры в футбол под охраной взвода автоматчиков. Выход за пределы поля мог быть наказан выстрелом на поражение. Разглашение каких-либо секретов Башни безапелляционно каралось смертной казнью.

Юрочка Дондерон проходил тут по штату мкрс, то есть малоквалифицированной рабочей силы. На него не распространялись все указанные привилегии, но зато распространялись все наказания, включая и указанные. И все-таки его внешность «юноши из хорошей семьи» сразу обратила на себя внимание всех высоколобых технарей. Всех поразил тот факт, что он всего лишь два месяца, как с воли. Большинство этих людей уже несколько лет не выходили за зону конвоя. Еще больше поразил всех факт, что он был из МГУ, то есть из самой гущи современной молодежи. Но самым поразительным оказался для них тот факт, что он был жильцом этого дома, на вершине которого они трудились на благо щедрой родины, и что при помощи нехитрой увеличительной оптики можно было увидеть во дворе его папу-академика, его собаку Дюка и даже девушку его мечты.

Больше всех благоволил Юре негласный руководитель всего этого проекта, пожилой зэк со странной фамилией Затуваро-Бончбруевич. Он говорил с легким польско-немецким акцентом. Позднее Юра узнал, что Бонч три года назад был похищен нашими агентами из Западного Берлина, где он как раз занимался чем-то вроде нынешней работы, то есть подслушиванием секретных коммуникаций в советском секторе.

На Башне плешивый и тощий Бонч сидел в своей собственной мастерской, которая чем-то напоминала «инструменталку» на Швивой горке, настолько она была заставлена всякими приборами, станками и прочей техникой. Юру, который занимался настилом паркета и в этом помещении, поразило, что у специалиста почти всегда тихонько играет оригинальный американский джаз. Не в силах удержаться, он начал подпевать, ну, скажем, I’m walking, I’m talking, чуть-чуть подплясывать в такт и даже имитировать брейк на ударных инструментах. Похищенный гражданин неизвестно какой страны Затуваро-Бончбруевич, всегда погруженный в сборку-разборку каких-то электронных схем, юмористически на него посматривал и однажды спросил:

«Я вижу, Юра, вы имеете вшисткий интерес до джазу, цэ правда?»

Юра тогда сразу выложил на ученого целую кучу информации из жизни московского джазового подполья. Также поинтересовался, на какую радиостанцию постоянно настраивается пан Бонч, чтобы круглосуточно звучал джаз.

«Цэ радьё за телефонами с Мюниха, РИАС, для американских жолнежей». Подняв палец к потолку, пан Бонч с большим уважением объяснил Юре, что с «нашей антенной» они могут поймать любую радиостанцию на планете Земля и даже, в случае надобности, за ее пределами.

После этого разговора они стали иногда вместе в наушниках слушать сильно продвинутые джазовые концерты с фестивалей, ну, скажем, из Ньюпорта или Сан-Себастьяна. Пускали на полную мощность и иногда в полнейшей тишине с восторгом показывали друг другу большие пальцы: Джонни Ходжес – это нечто!

Пан Бонч научил Юру микросварке и попросил полковников отрядить ему этого циклевщика, а на самом деле опытного физтеха (немного наврал) для ускорения проникновения в глубины электронных схем. Он давно уже заметил, что начальство нервничает, что кто-то на них висит, погоняет к ускоренному завершению всех «башенных» работ. Короче говоря, начальство дало добро на более квалифицированное использование циклевщика.

Однажды они сидели вдвоем, будучи, конечно, в наушниках, перед окном и внедрялись в недра какого-то только что поступившего следящего за телефонами устройства. Какое мирное блаженство, думал Юра под гитару Джанго Рейнхарда. Краем глаза он также наблюдал не лишенное некоторой грации кружение вокруг башни двух влюбленных ворон. Если бы мы с Гликой могли так вокруг друг друга кружить, ей не пришлось бы выбиваться из сил с этими ее попытками подъема. Он снял наушники и показал на ворон пану Бончу. Ну почему люди не могут так кружить? Тот внимательно посмотрел на юношу и тоже снял наушники. Взял лист отменной чертежной бумаги и быстрыми уверенными движениями нарисовал махолет Леонардо да Винчи. Молодому пану известна эта конструкция? Юра кивнул. Люди всегда думали о живых полетах. Вы слышали когда-нибудь о русском футуристе Татлине? Юра опять кивнул, хотя никогда этого имени не слышал. Бонч понял, что юнец привирает, и нарисовал на том же листе педальную конструкцию, напоминающую птеродактиля. Эту штуку Татлин назвал «Летатлин». Он был уверен, что к 1950 году москвичи будут перелетать из одного небоскреба в другой на подобных крыльях. «Летатлин» – это не механическое изобретение, а скорее эстетическая метафора полета, он ни разу не отрывался от земли, но, в принципе, в нем заложена некоторая кардинальная идея. А теперь смотрите, шановны пан! Он взял еще лист и стал с некоторым даже вдохновением набрасывать еще одно летательное устройство. А это, наверное, ваше собственное изобретение, пан Бонч, догадался Юра.

Затуваро-Бончбруевич кивнул со сдержанным торжеством. Потом он рассказал, как у него возникла идея разработать свой вариант летатлина. В Швейцарии давно уже испытывают так называемый «дельтаплан» для использования в Альпах. Однажды он увидел его чертежи в одном из технических журналов, которыми его под расписку о высочайшей секретности снабжают академические полковники. По идее, это не что иное, как обычный планер для скольжения вниз. Ему оставалось только усилить его элероны, чтобы можно было маневрировать в воздухе, выбирать место для посадки и даже менять высоту.

Вдруг он вцепился своей тощей рукой, чем-то напоминающей воронью лапу, в Юркино неслабое плечо, развернул его к себе и уставился в глаза юнцу, будто стараясь проникнуть как можно глубже в его «электронную схему». После этого он при помощи скрытого «фотоэлемента» зафиксировал дверь в мастерскую и поведал Юрке свою тайну. В чуланах мастерской находятся в разобранном виде все детали аппарата. Собрать его можно за полчаса. Он знает, как без охраны выйти на бордюр, собрать аппарат, как следует пристегнуться и… Что дальше? Как что, прыгнуть в струю – вот что. Это единственный для него способ, как у вас говорят, «смотаться на волю». Его технические познания спасли ему жизнь в Гулаге, однако они же приковали его навеки. Они никогда его не выпустят. Кто они, спросил Юрка, наши? Ваши, Юрочка, ваши. Они и тебя вряд ли выпустят, тем более что… Но сначала скажи мне, пшепрашем, откуда у тебя это бардзе чудне имя, Дондерон? Ты что, нерусский?

«Конечно, русский, – ответил Юра. – По происхождению, правда, из французов. Как папа всегда подчеркивает, из французских роялистов. Дон-де-рон, это что-то вроде „господин-с-Роны“, или „подарок Роны“, в смысле, реки».

«Дзенкую бардзо, хорошо, что ты нерусский».

«А при чем тут это, русский-нерусский, в чем дело, пан Бонч?»

«Я не люблю русских. Дело в том, что я решил отдать этот аппарат тебе. Я его делал в чёнгу двух лят и не хотел бы, чтобы русский на нем полетел».

У Юрки дыхание перехватило: прыгать с 35-го этажа?! «Да что вы, пан Бонч, вы же для себя его готовили, чтобы смотаться на волю. Мне все-таки меньше трех лет осталось, а вас они, ну то есть наши, действительно, никогда не выпустят как ценный для родины кадр».

«Я имею опасение, Юрочка, что ты теж живым отсюда не выйдешь».

Он пустил погромче музыку и поведал молодому другу самую страшную тайну. Оказалось, что он при помощи своих устройств время от времени мониторит секретную линию связи и вот

недавно слышал там дискуссию, от которой без всякого аппарата можно спрыгнуть с башни. Кто-то там, на самом верху, предлагает по завершении проекта устранить всех задействованных без исключения. Кто-то там подчеркивал, что это не жестокость, а акт исторической необходимости. Этому человеку кто-то возражал, но на него стали страшно кричать и пригрозили, что и от него могут избавиться. Вот поэтому он решил, что Юре, которому еще нет двадцати, все-таки надо еще пожить, то есть попробовать счастья на крыльях. А ему, которому скоро восемьдесят, пора и честь знать».

«Пан Бонч! – воскликнул пораженный Юрка. – Неужели вам уже восемьдесят? А я думал, что вам сорок».

«У тебя есть, где заховаться?» – деловито осведомился доктор Ягеллонского университета Затуваро-Бончбруевич.

Юрка, подумав, сказал, что есть друг, который может помочь спрятаться.

«Ну вот, заховайся и сиди, чем дольше, тем лучше. А потом, может быть, будешь жить. – Он мягко улыбнулся. – И слушать джаз со своей кобетой».

О, этот вьюноша летучий!

В середине февраля 1953-го года в Москве, как обычно в эту пору, заладили вьюги. Улицы по вечерам пустели, словно где-то поблизости шла война. О мире напоминали только редкие неоновые рекламы со странным призывом: «Печень трески, вкусно, питательно!» Граждане старались по выходе из метро как можно быстрее разобраться по домам. В газетах печатали большие статьи о злодеяниях еврейских врачей. Томительное беспокойство усугублялось постоянным подвыванием пурги.

В эти дни Кирилл Смельчаков собирался в очередное заграничное путешествие, на этот раз в Стокгольм, на сессию Всемирного совета мира.

«Куда на самом деле?» – спросила его Глика. Она разгуливала по его кабинету и беспрерывно курила.

«Ты же знаешь, что я не могу ответить». Он укладывал в чемодан совершенно ненужный вечерний костюм, к нему сорочки и галстуки. На базе в Дураццо в ход пойдет камуфляж и можно будет ни от кого не скрывать пункт назначения. Потому что все туда же отправятся.

Она все ходит, нервная, нервная. Гасит сигарету, берет другую. Открывает газету, тут же ее бросает. Не без отвращения, что неудивительно. От нынешних газет разит.

«Ну?» – произнесла она и остановилась в дальнем углу комнаты.

«Что ну?» – спросил он из ближнего угла комнаты. Собственно говоря, у каждого ближнего угла комнаты есть дальний угол комнаты. Вернее, так: каждый угол комнаты, являясь ближним углом комнаты, смотрит на дальний угол комнаты, а тот, в свою очередь, являясь ближним углом комнаты, смотрит на дальний угол комнаты, который только что был ближним углом комнаты; и вся эта игра углов комнаты зависит от перемещений находящихся в комнате объектов взаимной любви.

«Ну, что же, товарищ Семижды, глядя на вас как на объект моей любви, я жду, когда вы приступите к раздеванию объекта вашей любви, то есть меня».

Тут они стали сближаться, теряя и ближний и дальний углы комнаты. «Не надо, однако, терять слово „взаимный“, применительно к любви», – вдумчиво произнес он, приступая к желанному делу. «Это слово всегда со мной», – хохотнула она, чуть-чуть затягивая и тут же освобождая пояс его брюк.

Предаваясь любовным утехам, он думал о том, как разительно изменилась Глика за этот год. Трепетная девственница с мечтой о «небесной любви» умудрилась в девятнадцать лет обзавестись двумя 37-летними мужланами-любовниками и пытается сейчас командовать и тем и другим одновременно. Прежде так много в молчании говорили ее «небесные» глаза, теперь она не упускает возможности, чтобы продемонстрировать резкость своих суждений. Похоже, что даже культ товарища Сталина в ее душе начинает слабеть по мере увеличения эротического опыта.

В момент приближения взаимного восторга в точке, равноудаленной от четырех дальних углов комнаты, Глика совершенно неожиданным образом опровергла его предположения.

«Знаешь, иногда перед этим моментом ты мне кажешься молодым Иосифом Виссарионовичем. – И добавила: – Еще батумского мятежного периода».

Чтобы наказать нахальную девчонку, он как-то умудрился еще дальше и дольше ее протащить по едва ли не разрушенному двойному койко-месту. Наконец, угомонились и перешли от страсти к нежности. Девушка в такие минуты была даже склонна к шаловливости, в частности, к подергиваниям. И вдруг безмятежно заснула всей своей дивной головенкой на атлетической груди собравшегося в N-ском направлении героя. Спала ровно семь минут. Проснувшись, встряхнулась.

«Ой, Кирилльчик, я чуть не забыла важнейшее дело. Сейчас к нам должен зайти Таковский».

Еще не уточнив, при чем тут Таковский, он начал быстро, едва ли не в десантном темпе, одеваться. Она попыталась не отставать.

«Надеюсь, ты помнишь этого Таковича? Нет? Ну как не стыдно забыть члена нашей семьи, маминого, можно сказать, племянника? Ты нам нужен этой ночью. Снег и ветер на всем белом свете. Нет, ничего особенного. Ты нам просто нужен в качестве шофера на твоем „Хорьхе“. Попробуй только сказать нет!»

Кирилл поинтересовался, почему именно он нужен на «Хорьхе», как будто нет под рукой другого шофера на ЗИСе-101? По ее версии оказалось, что тот, другой, действительно был под рукой, но вдруг исчез без всяких объяснений. Ведь ты же знаешь, что у него есть свойство время от времени пропадать без всяких объяснений. Ну давай без колебаний, мой дорогой, мой самый любимый из двух, ведь это для тебя еще один повод проявить свои геройские качества. Кирилл уступал последнюю линию обороны. Послушай, олимпийская дурочка, для меня в этом не было бы ни малейшей проблемы, если бы завтра утром мне не надо было лететь в Стокгольм. Он уже начинал понимать, к чему клонится дело. Ну вот и прекрасно, она захлопала в ладоши, вот в самолете и отоспишься!

Когда я пришел, они оба были уже почти готовы на выход. По всей вероятности, только что вылезли из постели, иначе чем можно было объяснить эти супернежные взгляды, которыми они обменивались то из дальнего угла, то из ближнего угла комнаты. Несколько минут у меня еще было для того, чтобы оглядеться: ведь я первый раз в жизни был в квартире настоящего богатого писателя! Больше всего, признаться, мне понравилась конторка с высоким стулом. Говорили, что Хемингуэй любит писать именно на такой конторке, расположив грешный зад на табуретке, одной ногой упираясь в пол, а другою покачивая в воздухе.

Когда мы вышли втроем из дома, вьюга набрала поистине сатанинскую силу. Где-то она, видимо, оборвала провод, яркие обычно фонари вокруг парадного подъезда раскачивались теперь в охеревшем воздухе, словно никчемные ночные горшки. Тревога начинала продирать меня пуще мороза при каждом взгляде в высоту: все это могло кончиться трагедией.

Опустив уши у малахаев и подвязав их под подбородками, мы двинулись по еле заметной тропинке в поисках трофейного чудовища. Нашли его в виде огромного сугроба возле одной из двух ростральных колонн, которые в приличную погоду призваны были украшать это чертово капище. Никаких шансов откопать аппарат голыми руками не проглядывало, как вдруг по направлению к нам сквозь снежную завесу стала двигаться громоздкая фигура с пучком лопат в руках. Это был не кто иной, как дядя Егор, который, собственно говоря, и познакомил меня с шофером Клонкрустратовым. В четыре руки или, точнее, в восемь рук дело пошло споро. Очистив машину от снега, мы расшатали двери и проникли внутрь. Писатель без проблем завел мотор, а вместе с ним и радио: Eine Kleine Nacht Muzik, дирижер Герберт Кароян.

Отправились по Яузской набережной в северном направлении. Иные места шоссе были настолько завалены снегом, что приходилось ползти в качестве гитлеровского вездехода, в то время как с других, достаточно продолжительных мест ветер сдул все наносное, и мы ехали с приличной скоростью по чистому асфальту. Глика сидела впереди рядом с Кириллом и командовала. Тот временами поглядывал на нее и улыбался. Мы ехали довольно долго, пока не миновали Лефортовский парк. За парком мы по горбатому мостику переехали на другой берег Яузы и поехали обратно в сторону высотки. Осталось меньше километра до небоскреба, когда мы достигли условного места, свалки металлолома, которую местные бичи величают «Сталинградом».

За все это время нам попалось не больше двух-трех попутных и встречных машин. Мы съехали с дороги и пришвартовались к заброшенному куску бетонной стены. Здесь и остановились. Начали курить. Ночная музычка закончилась. Лучше вообще выключи, попросила Глика. Тишина. Подвывание снежных ведьм. Все, очевидно, очень нервничали. Меня, во всяком случае, просто трясло.

«Откуда он должен появиться?» – спросил Смельчаков.

«Кто?» – быстро и как-то жутко переспросила Глика.

«Дондерон».

«Откуда ты знаешь, что это Дондерон?»

«Ну перестань, я ничего не знаю. Тот, кого мы ждем, откуда он явится?»

«Вон оттуда!» – Она ткнула пальцем в небеса.

И тут ее прорвало. Сбивчиво и почти непонятно даже для посвященных она понесла что-то о самом чистом мальчике нашего поколения, о своих отношениях с Юркой, самым чистым мальчиком нашего поколения, который не создан для этого мира, для этого слегка чуть-чуть несколько жутковатого пандемониума, в котором люди ползают, как полудохлые и слегка чуть-чуть злобноватые мухи, в котором даже такой монстр, как Берия, может показаться слегка каким-то более-менее живым гуманоидом, да-да, гуманоидом, а не просто жуком навозным. Мой Юрка, мой Юрка, мой мальчик! Ему все время видится, как я выхожу из нашего красавца-дома, прямо из 18-го этажа, в небо и пытаюсь в нем плыть, как будто баттерфляем, пытаюсь набрать высоту. Но ведь это же то, что я все время вижу во сне, вижу, как наяву, плыву, плыву, невесомая в небесах! Юрка, мой Юрка, если бы Сталин узнал о твоей чистоте, он бы немедля пришел на помощь! Мы все легли бы у ног богоподобного вождя, Юрка, Так, я, Смельчаков, Моккинакки и вы, дядя Егор, легли бы с каким-нибудь оружием в руках для фотоснимка, как комсомольцы Гражданской войны. А он вместо этого выходит в небо с самого последнего, 35-го этажа!

- О, этот вьюноша летучий!
- Он старой сказке волю дал!
- Он пролетал, как сыч, сквозь тучи
- И человеков удивлял!

Кирилл, ты знаешь этот стих? Он из анонимных источников XVII века! Из анонимных, Кирилл! Из семнадцатого!

Кирилл обхватил ее за плечи, гладил по голове, пытаясь остановить истерику. Наконец, она затихла. За это время с небосводом над высоткой произошли неожиданные изменения. Появились прорехи в чудовищной шубе пурги. Проявились клочки чистого темно-синего неба. Снег еще шел вовсю, но все-таки не в таких сатанинских масштабах, как час назад. Ветер, однако, по-прежнему выл, и в вое его появился даже какой-то железный оттенок. Он как бы обтекал проявившийся во всю высоту и нависший над нами чертог и потом летел на нас, на свалку «Сталинград», со скоростью свист-экспресса. И вдруг все мы отчетливо увидели, как на бордюре башни появились, или проявились, темные и достаточно обширные для переноса одного человека крылья. Миг – и они отделились от башни, еще миг – и их швырнуло вниз, еще один миг – и они вроде бы выровнялись и плавно заскользили вниз, но не к нам, а в сторону Яузской больницы. Уже было видно, что с них свисают две длинных ноги, похожих на конечности нашего друга. «О, этот вьюноша летучий!» – вдруг странным, не своим голосом запела Глика. Летун исчез. Мы замерли. Прошло не больше минуты, а нам показалось – час. Из-за круглого купола полуразрушенной церкви Симеона Столпника-за-Яузой плавно появились, или проявились, эти внушительные крылья с подвешенным к ним человеком. Они снижались прямо к «Сталинграду». Над Яузой их еще раз сильно тряхнуло, однако мы видели, что летун – он, он, наш Юрка, самый чистый мальчик нашего поколения! – активно управляет стропами и какими-то рычажками. Мы все выскочили из машины и побежали к реке.

Он не дотянул всего лишь метров тридцать до свалки и повис на парапете набережной. А крылья свалились ему за спину и застыли искалеченной формой над льдом и паром реки. Там, под поверхностью, был, очевидно, слив какого-то завода, оттуда и возникали пар и булькотение талой воды. Мы перетащили Юрку через парапет и освободили его от строп. Крылья на удачу упали прямо в парное месиво слива и там исчезли, как будто растаяли. Спасибо вам, крылья великого узника холодной войны Адама Затуваро-Бончбруевича! Юрка стонал и, кажется, не

очень-то отчетливо фиксировал окружающий мрак, в котором мерцали наши лица. Лишь изредка он улыбался этим мерцаниям, как будто приветствовал желанную паузу в кошмаре.

Мы положили его на задний диван, а сами с Гликой кое-как устроились на полу машины. Она держала руку безумного летуна и все напевала что-то летучее в русской крестьянской манере. Дядя Егор занял ее место впереди. Его присутствие придавало этому предприятию некоторую целесообразность. Так началось наше, длиною в ночь, путешествие в Звенигород, которое было бы невозможным без Кирилла Смельчакова. Во-первых, он подъехал к дежурной аптеке возле Курского вокзала и купил там обезболивающих таблеток. Во-вторых, в ночном гастрономе на Охотном ряду он закупил водки и большой пакет с продовольствием. В-третьих, на выезде из города, когда нас остановил мотопатруль (два мильтона и автоматчик МВД), он предъявил им документ, который заставил всех троих вытянуться по стойке «смирно» и даже заботливо предупредить знаменитого писателя: «Будьте осторожны, товарищ Смельчаков: какой-то мазурик сбежал из тюрьмы, идет облава». К счастью, Дондерон уже спал под девичьими руками. Ну и наконец, в-четвертых: без Смельчакова мы бы, конечно, даже и на воображаемом такси никогда бы не доехали в пургу по тем завалам, которые называются у нас автомобильными дорогами. Вообще, между прочим, какого бы говна ни накидывали на этого семижды лауреата, в нем все-таки всегда жил храбрый солдат.

Тучи над городом встали

Первого марта 1953-го года ночью (далее и почти до конца этой повести события будут окрашены в основном ноктюрными тонами) начался штурм дачи Сталина силами скопившейся в столице СССР сербско-македонско-словенско-боснийско-хорватской диаспоры. Отчаявшись вытянуть вождя за круги его охраны, гайдуки решили идти в лоб. Председатель вновь появился в Москве, он следил за происходящим из штаб-квартиры в мясном ряду Центрального рынка, в то время как его правая рука, известный еще с военных времен Штурман Эштерхази непосредственно возглавлял штурм. Передавали его слегка крылатую фразу: «Мне надоело прятаться, пусть прячется Коба!»

Интересно отметить, что основная схватка развернулась не на Ближней и не на Дальней дачах, куда были посланы только отвлекающие отряды, а, наоборот, на даче, которую в народе назвали бы Самой Ближней, если бы кто-нибудь в народе знал о ее существовании. В народе, однако, совершеннейшим образом проспали появление этой новой дачи (известно, что вождь создал немалое число дач, в большинстве которых никогда и не бывал, но которые неизбежно назывались в народе «сталинскими»), и только благодаря своим связям в структуре Спецбуфета Жоре Моккинакки (он же Штурман Эштерхази) удалось узнать, что в последнее время Он (мишень) облюбовал для ночевок именно вот эту, как бы не существующую дачу, так называемый «Летний домик XVIII века», бывшее поместье Трубецких, которую, будь она замечена народом, неизбежно назвали бы Самой Ближней.

Ее отгрохали для ИВС в самом центре Москвы, в Нескучном саду, то есть по соседству с ЦПКиО им. Горького, и кто отгрохал, никогда не станет известно любопытному народу, то есть в том смысле, что ни сказок о строителях не расскажут, ни песен о них не споют. Ну вот, а вот инсургентам, да к тому же еще и иностранцам, стало доподлинно известно, что атаку надо начинать с другого берега одетой в гранит реки, путем запуска трех крылатых гранат (гранаты гранита – каково?), уже тогда находившихся на вооружении Советской Армии. Что и было сделано. Три взрыва в буколической роще озарили особняк с дворянскими колоннами на склоне холма. Спрашивается: а куда смотрели наши правоохранительные органы? Ну что ж, вот так и возникают русские «проклятые вопросы», на которые Русь никогда не дает ответа. В принципе, такие темы подлежат засекречиванию, столь мгновенному, что народу остается только хлопать ушами в течение десятилетий, а то и веков. Впрочем, не мы одни такие лопоухие: южные наши братья, славянские народы, тоже горазды свои секреты в землю упрятать, так что события той ночи так и остались бы за семью печатями, не откопай случайно садовник одного дорожного баула на острове Бриони.

Итак, три выстрела с Фрунзенской набережной по Нескучному саду сыграли фактически ту же историческую роль, что сыграл один выстрел с крейсера по дворцу в ноябре 1917 года, то есть вызвали панику на объекте. Чекисты, к тому времени уже вроде бы надежно перемешанные со смельчаковцами, заметались. Отовсюду меж стволов обозначались умело перебегающие и ведущие огонь тени титоистов. А ведь еще недавно в охране находились люди, которые только ухмылялись за спиной Вождя, когда тот начинал говорить о гайдуках; дескать, паранойя. Ну вот, и вот теперь извольте наблюдать, как на ваших глазах взрывается проходная, и сад получается действительно нескучным.

Сталин бежал, вернее, быстро двигался по подземному ходу к спасительному потоку. Вместе с ним поспешали его верные гидальго Поскребышев, Власик и Товстуха, без которых, в общем-то, Сталин, говоря не очень-то известным в те времена языком, даже не позиционировал себя как вождя. Отступление прикрывал небольшой, но сплоченный отряд смельчаковцев. Быстро двигались спинами вперед, стволами назад. А где, черт побери, Смельчаков, спрашивал Вождь, за поспешностью скрывая сущую панику. Ему отвечали, что верный Кирилл отбыл в командировку. Куда же его нелегкая понесла в этот раз? Все в этом отряде людей промолчали. Он потребовал ответа. Нельзя разглашать, товарищ Сталин, ответили люди отряда: государственная тайна.

Вдруг металлический пол тоннеля начал вибрировать во внештатном режиме. Оглянулись и окаменели: в просвете тоннеля уже появились преследователи, тяжеловесное гайдучье племя. Доносились гортанные хрипы: «Чекати, содруг Сталин, или стрельянье быти!» Стрельба уже готова была разразиться, когда в тоннеле опустилась непробиваемая перегородка, отделившая отступление от наступления. В последний, собственно говоря, момент Сталин с охраной вошли в спасательное средство и повалились на диваны.

Это спасательное средство было не чем иным, как подводной лодкой, приспособленной для передвижения в русле Москвы-реки. Она была построена по личному предложению товарища Сталина как своего рода последний понтон на случай нападения титоистов. Как видите, пригодилась! В принципе, корабль мог двигаться, не обнаруживая себя, везде, где было достаточно воды, однако причалить он мог только в трех местах: на Самой Ближней даче, под Кремлем и в устье Яузы, под жилым гигантом. Только в этих трех местах имелись соответствующие тоннели и эллинги для стоянок и высадки пассажиров, причем самым надежным портом был последний упомянутый, поскольку слияние двух столичных потоков обеспечивало надежную массу воды для незаметных подплытий и отплытий. Нечего и говорить, что никому в Москве эти пути отхода не были известны, а если нечего и говорить, тогда не стоит даже упоминать структуру Спецбуфета, которая была в курсе.

Только оказавшись в надежном плавсредстве среди вроде бы вполне серьезных парней охраны, Сталин вспомнил, что Кирилл Смельчаков тому уже дней десять назад отбыл по сверхсекретному заданию в международную зону АЮКТ-3159/БО. Кажется, именно сегодня, сейчас, в ночь с 1-го на 2-е марта он со своей группой должен осуществить важнейшую миссию пролетарского интернационализма. Людям, посвященным в акцию, было запрещено открывать эту информацию кому бы то ни было из живущих. Таким образом, отказавшись ответить даже ему, люди выполняли дух и букву приказа. Этот героический буквализм немного поднял его ужасное настроение. Все-таки хотя бы на эту сволочь еще можно положиться.

С другой стороны, как могло так получиться, что титоисты нас опередили? Как могли они собрать достаточно информации и сил для наглейшей вооруженной атаки в самом центре Москвы на самый секретный объект, содержащий у себя внутри основное ядро мировой революции, товарища Сталина (Джугашвили) Иосифа Виссарионовича, 1879 года рождения, да еще и орать что-то прямо ему на похабном хорватском? Неужели можно предположить, что их разведка оказалась сильнее и изворотливей нашей соответствующей сволочи? Ну ничего, ничего, вот только доберемся до Вершины и сразу начнем тотальную чистку (или, как потом будут говорить, «зачистку»). Приказ по армии и флоту: все войска МВО должны быть втянуты внутрь, все гидропланы с картин Дейнеки будут контролировать небосвод по периметру. С евреями придется подождать, пока не очистимся от титоистской заразы. Евреи сами подождут, среди них все-таки есть патриоты. Немедленно соединиться с Василием, он должен наконец понять, что он не просто сын Вождя, победитель буржуазной Олимпиады, что он еще и наследник данного Вождя, профессионального революционера! Где Берия, черт его побери? Этому гаду придется самому

проводить всю эту историческую чистку, самому придется с пассатижами в руках проводить дознание, самому командовать расстрелами. Молотов, где этот лицемерный негодяй? Пусть немедленно звонит главам антигитлеровской коалиции, пусть собирают сессию ООН! Сейчас, прямо с Вершины, товарищ Сталин будет лично звонить уважаемому Ксаверию Ксаверьевичу Новотканному, как интеллигент интеллигенту, пусть вылетает на авиаматку готовить свое устройство для применения над Белградом. Дочери, настоящей юной жрице истинного сталинизма, предложить собрать грандиозную демонстрацию молодежи для защиты Вождя. Проще всего, конечно, было бы позвонить нашей вечной героине Ариадне и попросить убежища в ее гардеробной, но это уж на крайний случай.

В таком довольно сумбурном внутреннем монологе барахтался Сталин, проплывая подо льдом Москвы-реки в сторону Яузской высотки, когда командир-радист, парень с достаточно отчетливым, но несколько раздобревшим лицом, передал ему пару наушников.

«Товарищ Сталин, на линии Берия». Уловил радист, даже «товарищем» не удостоил шельму! В наушниках звучал псевдоделовой голос псевдовсемогущего куратора всех силовых структур, говоря на каком-то не очень знакомом языке. «Товарищ Сталин, разрешите уточнить с вами ваше местонахождение».

«Прежде всего, достопочтеннейший, сообщите, где вы находитесь!» Не было в лексиконе Вождя слова более убийственного, чем «достопочтеннейший». Названный этим словом был уже, можно сказать, нанизан на булавку, как никчемная бабочка. Голос беспощадного сатрапа дрогнул: «Мы сейчас разбираемся с виновниками падения Кремля, товарищ Сталин. Налицо огромное предательство, товарищ Сталин! Поэтому необходимо знать ваше точное местонахождение, товарищ Сталин!»

Что за гадина, подумал Сталин, если он звонит мне сюда, под лед, используя неслыханное по своей стоимости связное оборудование, значит, он знает мое точное местонахождение. «А мне нужно знать ваше точное местонахождение, достопочтеннейший!» Берия залепетал: «Я сейчас нахожусь напротив павшего Кремля, в здании ГУМа, товарищ Сталин! – и добавил на языке будущего: – Руковожу операцией зачистки». Связь прервалась и как будто бы с той, достопочтеннейшей, стороны.

Через несколько минут «Павлик» (так назывался уникальный корабль) вошел в полноводное устье Яузы. Включили все прожекторы. В кристально чистой среде H_2O появился стыковочный узел эллинга. Сталин волновался до некоторого головокружения, похожего на состояние перед XVI съездом ВКП(б), на котором маячил вопрос о его устранении, хотя ничто вокруг вроде бы не давало повода для экстремального волнения – ни слаженные, четкие действия экипажа, ни твердость перемешанной со смельчаковцами чекистской охраны, ни преданные без лести ряшки Власика, Товстухи и Поскребышева, которых он с их фамилиями привык позиционировать, говоря на не очень знакомом языке, как истинных представителей русского народа.

После состыковки вся толпа – впереди люди со взятыми на изготовку автоматами – вошла в обширный холл и без малейшей задержки проследовала к лифту. Полностью засекреченный, то есть вроде бы и не существующий в высотке, лифт с удивительной скоростью взмыл в поднебесье. Сталин еще ни разу не был здесь, на Вершине, которую уже несколько лет соответствующие структуры (н.о.з.я.) готовили для него, как апофеоз местопребывания. Роскошь и величие Башни поразили даже его, бывалого. Как раз к моменту его прибытия чекисты принялись выводить из помещений череду весьма недурных на вид граждан. Довольно чистые и вроде бы вполне ухоженные лица явно высокого технологического образования двигались к грузовому лифту, с недоумением отмахиваясь от чекистских погоняльщиков. Сталин сразу сообразил, что перед ним в свой последний путь идут те, кто в течение трех лет готовил для него это верховное заседалище, Вершину. Мало кто из них, очевидно, догадывался, что их ждет, напротив, те, кто узнавал его в группе военных, начинал пылать жутковатым счастьем – Сталин, Сталин, это лично он! – и только один из них, высокий старик с несоветской внешностью, проходя мимо, плюнул ему прямо в лицо. С тех пор и до самого конца в его чертах стал проявляться симптом, известный в психиатрии, как «боязнь плевка»; впрочем, до самого конца у этой странной контрактуры лицевых мышц оставалось всего несколько часов, в отличие от точно такой же контрактуры у начлага полковника Лицевратова, которая просуществовала еще по крайней мере пару десятилетий почетной отставки носителя.

Сталина провели в «рубку», круговое помещение с панорамными окнами, аппаратуре которой позавидовал бы самый современный океанский лайнер. Здесь его ждал не кто иной, как Лаврентий Павлович Берия собственной персоной. Эта гадина опять меня запутывает, как в дни воркутинского восстания, подумал Сталин. Каким образом он раньше меня добрался до Вершины? По всей вероятности, мингрелец сидит здесь уже давно, а к павшему Кремлю даже и не подбирался. Если уцелею, устрою ему судилище в рамках Пленума Центрального Комитета.

«Товарищ Сталин, разрешите доложить, Таманская и Кантемировская дивизии уже на подходе. Не пройдет и двух часов, как мы, образно говоря на языке будущего, размажем этих мадьяр по стенке».

Вождя перекорежило. «Каких еще мадьяр? Ты что, Лаврентий, до сих пор не сообразил, что в городе действуют сербо-хорватские гайдуки? Ну-ка включи обзор ближайших окрестностей. Уверен, что они готовят штурм высотки».

Включились камеры слежения подъездов, арок, всех корпусов и дворов. На экранах были видны группы вооруженных людей в обычной московской одежде, но некоторые в стеганых азиатских халатах. Они собирались вокруг больших фургонов с номерными знаками Узбекистана. В середине одной группы размахивал руками высокий детина с явно привязанной рыжей бородой. Он отсылал боевиков по двое, по трое в разных направлениях. «Вот он! – вскричал Сталин. – Это главарь путча!» В этот момент один из югославов с дружеским хохотом сорвал с главаря его бороду – дескать, нечего больше прятаться. Окружающие боевики весело смеялись. Интересные люди, подумал Сталин, развлекаются перед смертельным боем, как будто не представляют, что на них идет броневая мощь, перед которой трепещут даже поджигатели войны Северо-Атлантического блока. «Товарищи операторы, – сказал он в своей привычной неторопливой манере, – покажите нам, пожалуйста, крупный план этого бывшего бородача». Просьба была немедленно удовлетворена, и тогда он впервые после 1940 года увидел и узнал вражескую личность полярника Георгия Моккинакки. «Узнаешь, Лаврентий? – спросил он, не оборачиваясь. – Ведь это ему в сороковом году ты продавил ребра под левой лопаткой. Спасибо, товарищи операторы, теперь возвращайтесь к общему плану». Будучи поклонником «важнейшего для нас искусства», он был доволен, как точно и к месту он употребил кинематографические термины. Вообще ему показалось в этот момент, что он может стать хозяином ситуации, если, конечно, Первая Конная армия командарма Буденного в тесном взаимодействии с войсками Первого Украинского фронта маршала Конева перережет танковый клин фельдмаршала Гудериана.

В этот момент на общем плане мелькнула еще одна знакомая фигура. Из подъехавшего ЗИСа-101 выпростался пожилой крепыш, исполненный, несмотря на лишние килограммы, удивительной мощи и энергии. Он шел неудержимо, откидывая круглыми коленями полы своей добротной дубленки, неудержимо, по-хозяйски направлялся к 9-му подъезду, возле которого стояла группа мужчин, которая бесцеремонно – вот вам и хваленое западное воспитание! – пальцами показывала на самую вершину горделивого чертога, на Вершину!

«Крупным планом вон того, в дубленке!» – приказал Сталин и пригласил Берию сесть в соседнее кресло. Укрупнение показало толстое волевое лицо с неизгладимым отпечатком власти. «Ты что, Лаврентий, совсем сбрендил, вконец разложился? Пропустить появление в Москве самого товарища Тито?» – страшным шепотом спрашивал Сталин.

Берия с облегчением рассмеялся. «Товарищ Сталин, это всего лишь сходство, притом довольно отдаленное. На самом деле перед вами наш товарищ. Его зовут, если не изменяет память, Вальдис Янович Скальдис. Органы не дремлют, товарищ Сталин».

«Пошел вон!» – что есть мочи возопил Вождь и тут же, прямо в кресле, заснул.

Председатель подошел к основной группе, в которой было не менее двадцати бойцов во главе с Моккинакки. Они все были обвешаны оружием и подсумками с амуницией. При виде появившегося, как всегда внезапно, своего вождя, инсургенты стали подбрасывать в воздух шапки. Взяв под руку сподвижника, председатель отвел его в сторону.

«Ну что, Штурман, ты наконец дождался своего часа? Кольцо, как я понимаю, замкнуто? Теперь вперед и тут же кончать со всем этим делом!»

«Ты знаешь, Зорб, мне кажется, что у нас есть шанс взять его живым. Как ты на это смотришь?»

Театр «Вампука»

У Новотканных тем временем шла обычная спальная ночь. Ксаверий Ксаверьевич громогласно, как и подобает громовержцу, почивал у себя в кабинете, Ариадна Лукиановна мирно, с улыбкой, посвистывала носиком в своем алькове. Полный покой царил на обоих этажах квартиры, только забытый в гостиной радиоприемник бормотал что-то тревожное по-французски, да временами неслышно, призрачно перемещались в лунных отражениях военнослужащие Спецбуфета.

Что касается дочери Гликерии Ксаверьевны, то она тоже отчасти спала, отчасти подходила к окну и оценивала свои сегодняшние шансы на выход в пространство. Мне тесно, во сне думала она, тесно не в этой пятисотквадратнометровой квартире, даже не в городе этом, в котором, конечно, тесно, но более всего мне тесно в теле моем. Чтобы отвлечься от этого томящего чувства, она заставляла себя вспоминать звенигородский дом в огромных сугробах, где упрятались два мальчика ее поколения, умудрившиеся преодолеть тесноту своими джазовыми откровениями. Глядя во сне в окно на перемещающиеся ночные огоньки, она вспоминала и Кирилла, своего «небесного жениха» и владыку ее телесного вместилища. Где он может находиться в этот миг в этом пространстве? Надеюсь, что не в ужасной тесноте подводной лодки, а еще пуще – не в торпедном же аппарате! Интересно, что в этих снах очень редко ее посещал удивительный Жорж, то весь прожженный южным солнцем, то весь просвистанный северными ветрами, который как-то странно все время исчезает и где-то бродит наедине со своими намерениями. Она догадывалась, что мимолетный Жорж – это просто Настигающий Охотник. Он несется, хватает в прыжке, с ним ты валишься вместе, в клубке, а потом он спасается бегством.

И вдруг эта обычная ночь Новотканных прервалась: в страшном смятении поднялась из постели Ариадна. Что-то похожее, сразу вспомнила она, возникло в ее душе другой ночью, десять лет назад, перед тем, как за ней явились два чекиста и повезли ее на заседание узкого круга военного Политбюро. Сейчас она чутьем разведчицы улавливала какие-то волны дерзновенных и чудовищных замыслов. Тряхнула спящего рядом. «Фаддей, ты чуешь: весь дом в огне!» Тот подскочил, мгновение – и по стойке «смирно», жужелицы бровей сходятся на переносице, вникают друг в дружку, трепещут чуткие собачьи ноздри. «Нет, я не чую, пожара нет!»

Сразу после этого верноподданнического движения к покою в глубинах дома послышался небольшой взрыв. Что-о-о? Уже началось? Лукьяновна, Лукьяновна, да чего ж вы так мечетесь? Ну в худшем случае газ у кого-нибудь взорвамши! И незабываемый, никогда неизгладимый телефонный звонок тут же разрезал ночь на два куска.

Это был Сталин. «Ксаверий, ты слышишь меня? Я говорю сверху».

Ядерщик, уже в вертикальной позиции, ответствовал с натугой: «Иосиф Виссарионович, слышимость неудовлетворительная, как будто вы звоните с Новой Земли». «Ксаверий, у нас чэпэ! Столица нашей родины подверглась вторжению клики Тито. Все здесь: и Джилас, и Ранкович, и Кардель, и Моше Пьяде, и Сам вместе с нашим предателем Штурманом Эштерхази. Ты должен немедленно вылететь вот именно на Новую Землю – надеюсь, что связь будет получше в отсутствие одного господина в пенсне – и отправить оттуда на Белград „Коминтерн“ с полным грузом устройства. Выходи на связь каждый час. Ариадна, ты слышишь наш разговор? Нет, она не слышит? Почему не слышит? Спит, говоришь? Как можно спать в такую ночь?»

Через десять минут прозвучал еще один звонок, на этот раз второй степени важности. На этот раз звонил Берия, и слышимость была значительно лучше. «Ксаверий, мне нужно поговорить с вами обоими, пусть Ариадна тоже возьмет трубку. Ариадна, это Лаврик, я звоню вам как друг, только как друг, без всяких чинов. Мы с товарищем Сталиным осаждены на Вершине. Вершина неприступна, и здесь мы можем дождаться подхода гвардейских дивизий. Однако мы с товарищами Власиком, Товстухой и Поскребышевым боимся за состояние товарища Сталина. Он на грани коллапса. Здесь есть врачи, но он никого к себе не подпускает, боясь еврейского подвоха. Спасти его может только одно существо, ты знаешь, о ком я говорю, да, это Глика. Уже давно он пестует в душе культ этого существа, чистейшей и преданной сталинистки, сродни своему жениху Кириллу. Увы, Кирилл сейчас выполняет важное задание партии вдали от Москвы, поэтому вся надежда на Глику. Нет, ты не пустишь ее? Да, она твоя дочь, но я потому тебе и звоню, что она ТВОЯ дочь! Ведь речь идет о жизни и смерти товарища Сталина!»

Ариадна швырнула трубку, черт бы вас всех побрал вместе с вашим товарищем Сталиным, и почти в ту же минуту увидела, что в дверях стоит Глика, одетая в великолепное синее платье, юбка колоколом, желтую кофту с буфиками, но босая. «Я все слышала и стремлюсь к нему!» – провозгласила она и слегка застыла, как фигура барельефа. Вот такой она была год назад, строгоглазой, еще до начала своих любовных приключений, вспомнила мать. «Как ты могла все услышать без телефонной трубки, дочь моя?!» – вскричала она и тут же подумала: «Начинается действие в театре „Вампука“!» Глика резко воздвигла правую руку над головой, словно отдавая пионерский салют, переходящий во взмах дирижерской палочкой. «Я не знаю, как я услышала, но знаю, что речь идет о жизни и смерти товарища Сталина!» И снова слегка чуть-чуть несколько застыла в рельефной позе. Происходит что-то всерьез ужасное, стала догадываться Ариадна.

В это время одна за другой стали распахиваться внутренние двери, открылась анфилада комнат, и по ней пробежал совершенно безумный Ксаверий Ксаверьевич. Но, прежде чем продолжить и завершить наше повествование, мы должны будем коснуться еще одного из блистательной ассамблеи государственных секретов Советского Союза.

Многомоторник «Коминтерн», который своей аварией в 1940 году открыл еще одну героическую страницу в эпопее освоения полярных пространств (на самом деле, он должен был прочертить еще одну трассу для будущих бомбардировщиков), не пропал для родины. Отремонтированный в обстановке высочайшей секретности прямо во льдах лучшими умами и руками отечественного авиапрома, он смог подняться в воздух и долетел до Новой Земли. Там, на сверхсекретном аэродроме, он был «доведен до ума» все теми же умами и руками. К настоящему времени, по мнению ученых, базирующихся на авиаматке «Вождь», многомоторник представлял из себя идеальное средство для транспортировки к месту испытаний сверхмощного ядерного оружия. Вот почему товарищ Сталин в обстановке острейшего кризиса, спровоцированного кликой ревизионистов, решил переадресовать «Коминтерн» из полярных широт на дунайскую равнину. Вот почему это неожиданное задание родины так взъярило академика. Нужно было в кратчайший срок произвести массу работ по изменению маршрута и по перепрофилированию машины из мирного испытателя в боевого разрушителя.

«Любое задание родины и Сталина будет выполнено! Любое! Будет! Выполнено!» – орал Ксаверий, пока метался вместе с верной своей Нюрой, собираясь в дорогу, бросая в чемоданы полярную одежду и запасы коньяку. И тут еще из глубины квартиры до него стали долетать взволнованные выкрики жены. С тяжелыми унтами поперек шеи, с кучей толстых свитеров в руках он пронесся по анфиладе и ворвался в комнаты жены. «Что происходит?! Глика, почему ты босая?! Ариадна, что ты вопишь? Чего вы не поделили? Что это за фальшивая трагедия?! Ничего особенного не происходит, просто нашу дочь просят зайти высшие представители НАШЕГО правительства!»

Странное зрелище представляли в ту ночь столь близкие друг к другу мать и дочь. Первая металась, как Андромаха в обреченной Трое, вторая стояла, ее не замечая, в позе пионерской готовности.

«Я ее никуда не пущу! – страшным голосом, раздельно, звук за звуком, слово за словом, произнесла Ариадна. – В эту ночь, в которой не происходит ничего особенного, кроме того, что в доме идет стрельба, моя дочь останется дома!»

«Идиотка! – возопил тут ее благоверный. – В доме происходит историческое противостояние генеральной линии и тлетворного отклонения! Мой друг, которому я верю больше, чем себе, маршал СССР Лаврентий Берия просто просит зайти нашу, НАШУ, а не ТВОЮ, дочь, чтобы успокоить пожилого, но гениального вождя. Да я сам выйду за него на баррикаду и рухну, как последний коммунар! А ты хочешь нас всех погубить, да, идиотка? Да, гадина?» Он все больше распалялся в своей ненависти к подруге жизни, в которую был когда-то так смешно, трогательно и беззаветно влюблен, и наконец испустил что-то совсем уже несусветное: «Ты – завершенная проститутка человечества!»

«Вот так, значит? – Ариадна в своих метаниях резко тут повернулась в сторону своего верного спецслужащего. – Что же, Фаддей, так твою мать, ты не можешь меня защитить от этого взбесившегося хама?»

Бледный, будто под следствием военной прокуратуры, капитан Овсянюк сделал шаг вперед, вернее, полшага вперед, только чтобы оторваться от стены. «Никак нет, Ариадна Лукиановна, я не могу поднять руку на академика и члена ЦК!»

Вот так, значит, подумала Ариадна, ну теперь вампука включается на максимальные обороты! Она улетела в свою спальню и тут же вылетела из нее, и никто, может быть, даже и не заметил, как увеличился в своем объеме карман ее халата. И только тогда уже она начала свой завершающий монолог с полной расстановкой всех чугунных точек над подгибающимися тростинками i.

«А ты, Ксаверий Ничтожный, со своей плебейкой-пой! Бери эту пу и отправляйся в свою засранную солдатней плантацию массового уничтожения, и пусть твоя па тебя там ублаготворяет! И знай, что возврат в этот дом тебе заказан! Сиди там в своем суперлюксе и держи свою грязную лапу на пе своей пы! И знай, Ничтожный, что, если ты со своим устройством дашь сигнал Армагеддону, ты будешь проклят всем человечеством и вместе с тобой твоя вульгарная па! Все! Теперь выметайтесь, los, los!»

В течение этой, поистине античной истерики, с каждой ее фразой Ксаверий из буйного белорусского зубра все больше превращался в разбухшую квашню. И только при слове «ничтожный» он вроде бы чуть-чуть суровел, слегка вздрагивал и оглядывался на воображаемую аудиторию, как бы приглашая не верить своим ушам, но возмущаться масштабами кощунства: Новотканный – ничтожен??? И лишь та, кого блистательная Ариадна, оттопырив в экзерсисе преувеличенного перевоплощения нижнюю презрительную губу, величала «вульгарной пой», каждую секунду была начеку. В суматохе сборов майор Сверчкова успела уже опоясаться портупеей с табельным оружием и теперь, одной рукой двигая своего кумира на выход, другой рукой держалась за кобуру. Между прочим, во всем облике ее произошли разительные перемены, как будто артистка Людмила Целиковская в одночасье превратилась в артистку Веру Марецкую. Чтобы завершить эту громокипящую семейную сцену, скажем, что через четверть часа этой пары и след простыл, она устремилась на Дальний Север, в край, где ни одна живая душа, даже и тюлень, не осмелится назвать академика Новотканного ничтожеством. Интересно отметить, что при выходе из здания югославские патрули брали перед ними под козырек, а один инсургент даже поприветствовал их словесно: «Товарищу академику горячий привет от братского народа!»

Итак, вампука, только начав разгораться, все же увяла: до кровопролития не дошло. Действие этой ночи, однако, продолжало развиваться. Глика, несмотря на страсти-мордасти, проявленные ее родителями, так и не вышла из своего странного полускульптурного состояния. Похоже было на то, что даже резкие выражения и явное присутствие нерасчехленного оружия не поколебали ее решения. Она лишь ждала сигнала. Ариадна пыталась ее обнять, увещевала самыми нежными звуками голоса:

«Миленький мой, лягушоночек, прошу тебя – забудь этот бред и ложись спать. Ну хочешь, ложись со мной, я буду тебя греть. Фаддей, идите к чертовой матери, оставьте нас вдвоем!» Глика молчала и отстранялась. Единственным признаком возвращающегося здравого смысла оказалась появившаяся в ее руках сигаретница. Штучку за штучкой она стала ее опустошать и монотонно, словно механический индивидуум, выпускать из своих пунцовых губ колечки голубого дыма.

Послышался тревожный до судороги кишок звонок в дверь. Капитан Овсянюк, уже в подбитых металлом сапогах, четко прошагал в переднюю. Ариадна, не вынимая правой руки из утяжелившегося правого кармана своего халата, устремилась за ним. За дверью стоял в кожаном пальто с адмиральскими погонами Жорж Моккинакки. Увидев за спиной Фаддея свою привлекательную соседушку, которую он давно уже вычислил как мифическую Эми фон Тротц, он приложил палец ко рту и вошел внутрь. «Ариадна Лукиановна, родная моя, я должен вам доложиться. Только, конечно, без свидетелей».

Овсянюк все еще высокомерно задирал свою башку не первой глупости. «А вы знаете, адмирал, что я обязан взять вас под стражу?»

Только тут Жорж обратил на него сосредоточенное и мрачное внимание. «Хотел бы я знать, как вы собираетесь это сделать».

«Убирайся на йух! – закричала Ариадна на своего услужающего и, лишь оставшись наедине с ночным гостем, положила ему обе руки на погоны и шепотом прошелестела: – Ну, Жорж!» Тот сел на хрупкую козеточку, враз заполнив никчемное сидалище беспрекословной актуальностью своей огромной фигуры. Снял фуражку, обнажив покрытую каплями влаги лысину, вздохнул, как вздыхают миллионы советских шахтеров, завершившие стахановскую вахту. «Ариадна, ты, конечно, догадываешься, что я пришел к тебе по просьбе Лаврентия. На Вершине возникла тупиковая ситуация. Сталин выставил вокруг своей рубки круговой караул из смельчаковцев и приказал никого к себе не допускать. Он держит руки на пульте, но в то же время бредит какой-то сценкой из своего дореволюционного прошлого. 1912 год, подпольная партконференция в Гельсингфорсе. Все отдыхают на пляже, включая Ленина, которого он называет „властолюбцем“. Коба обворожен ослепительной девушкой, молодым активистом партии, которую он называет „товарищем Парвалайнен“. Господь милосердный, он бормочет – ты можешь себе это представить? – быть может, это и был единственный счастливый день в моей жизни. Она была выше меня на голову и называла меня „грузинчик“. А я мечтал, чтобы она назвала меня „мой грузинчик“. Мечтал и был счастлив! Ну вот, Ариадна, теперь ты понимаешь, что к чему. Остался час до начала штурма. Шансов пробиться к Вершине нет никаких. Через два часа дом будет окружен кантемировцами. Не знаю, кто как, но наши будут драться до конца. Еще до конца ночи дом превратится в сущий ад. Вот почему Лаврентий попросил меня зайти к тебе. Просто как к другу… – И тут Жорж каким-то донельзя безобразным способом сымитировал кавказский акцент. – Панымаэш?»

Выслушав этот довольно печальный, если только не лживый рассказ, Ариадна не нашла ничего лучшего, чем вынуть из своего халата парабеллум и прицелиться в Жоржа. «Ну что ж, давайте доиграем эту пьеску до конца! Жорж, ты помнишь, что ты тоже был счастлив с Гликой в какой-то вашей мифической Абхазии? Ты разбудил в ней женщину, хвала тебе за это! Однако знай, что я не отдам свою дочь ни нашей сраной истории, ни титовской мечте о новой Византии! Идите вы все на йух! И ты отправляйся на йух, los, los! Пока я не прострелила тебе башку!»

Выслушав этот страстный, исполненный иронической трагедии монолог, Жорж Моккинакки не нашел ничего лучшего, чем мгновенным броском камышового кота, то есть своей руки, перехватить запястье великой шпионки и задрать ее револьвер вверх. Выстрел щелкнул, и пуля ушла в верхние этажи. По слухам, она прошивала один этаж за другим, пока на 25-м этаже не иссякла ее пробивная сила. Там она вроде бы успокоилась и поселилась на правах мирной высокоэтажной мышки. Так, во всяком случае, рассказывала об этом эпизоде много лет спустя в своем мировом бестселлере «Танцуем в Кремле» писательница Ариадна Рюрих.

Вернемся к нашим мутонам – или мутантам? Что случилось с парабеллумом? Нормальный исход: один поворот кулака с зажатым в нем женским запястьем, и револьвер упал на ковер, чтобы быть тут же поддетым носком сапога, взлететь в воздух и успокоиться в другом, более подходящем для такого рода предметов роскоши кармане. Что ж, Штурман Эштерхази тоже не последний человек в кругах мировой разведки.

Время истекало. Как сказал поэт: «Счет пошел на миги». Жорж неумолимыми, но в то же время вполне корректными движениями провел Ариадну в служебное помещение. Там пятками кверху рыдал под пуховым одеялом капитан Спецбуфета Фаддей Овсянюк. Телефонный шнур был протянут через всю комнату и уходил под то же самое одеяло. Связи не было. Жорж усадил Ариадну в Нюркино кресло и пошутил: «Надеюсь, родная моя, когда-нибудь мы вместе вспомним все это с улыбкой, как вспоминают петуха». После этого он собрал все имеющееся в наличии оружие, среди которого, кстати, был и крохотный на батарейках миномет, вышел и со знанием дела забаррикадировал дверь служебки. И только после всего этого, ненужного и наносного, отправился искать ту, за кем пришел. Он нашел ее без труда все на том же месте, где мы ее оставили, на подоконнике в мамином кабинете. Она по-прежнему курила сигареты и выпускала дымовые колечки из своих пунцовых губ. «Ах, Жорж! – проговорила она довольно по-светски. – Ты, кажется, пришел за мной? Я готова».

«Родная моя!» У него перехватило дыхание, и так, без дыхания, он прошагал к ней, чтобы прямо там, на подоконнике, всю ее обцеловать и протрясти в стиле WWII. «Ух, как здорово! – прошептала она и добавила: – Однако нам надо спешить, иначе может произойти непоправимая беда с товарищем Сталиным».

И они отправились наверх, не исключая, но и не предполагая, что им осталось жить не больше часа, если сложить и его, и ее время.

Финальные аккорды

На последней станции пассажирского лифта скопилось не менее взвода югов. Со свойственной этим племенам хмуроватостью они приветствовали вожака: «Здраво, Штурман, бог, бог! То е твоя дьевойчийка?» И он им отвечал: «Бог! Бог! (что значит у них: „Привет! Привет!“) Ово е мойа». Дева с надменным видом шествовала за ним. Они прошли через несколько дверей, пробежали по нескольким пустынным маршам лестницы вверх, пока перед ними не открылся бетонный тоннель, упирающийся в глухую стену. Из невидимых источников шел яркий свет. Жорж понимал, что они находятся под пристальным наблюдением и в зоне обстрела. Дойдя до глухой стены, он постучал в нее костяшками пальцев так, как он бы сделал перед обычной дверью в каком-нибудь общежитии. Стена – она была не менее пяти метров толщиной – беззвучно отъехала в сторону, открывая проход. Едва они прошли внутрь, она вернулась на свое место. Перед ними было пространство, похожее на какой-нибудь коридор в Кремле: красные ковровые дорожки, панели темного дуба, бюсты советских героев. Их немедленно обступило несколько чекистов. По сравнению с выражением их лиц югославская хмуроватость показалась бы фестивалем улыбок. Последовал приказ «Все оружие положить на пол!». Затем они быстро обшмонали Жоржа и значительно медленнее Глику.

В глубине пространства возник Берия. В костюмной жилетке и с распущенным галстуком он был похож на подвыпившего ресторатора. «Пропустите товарищей, они ко мне! Проходите, товарищи! Жорж, Глика, как я рад, что вы наконец добрались! Глика, в вашем лице я вижу настоящую патриотку! Давайте сразу же отправимся к товарищу Сталину, время не ждет! Только не волнуйтесь, у вас на это уйдет не более десяти минут, вы только скажете ему, что вас делегировал комсомол, вся советская молодежь, настоящие сталинисты-смельчаковцы. Только не удивляйтесь, если он будет называть вас „товарищ Парвалайнен“: вы напоминаете ему девушку, которая поразила его сорок лет назад… Жорж, садись в это кресло перед экраном. Ты будешь видеть на нем все передвижения Глики. Только не волнуйся: ты же меня знаешь, я никого из друзей еще не подводил. Надеюсь, что нам совместно удастся развеять все недоразумения. Глика, идем!»

Никогда еще Жорж Моккинакки не испытывал такого чудовищного напряжения. Вспоминая ледяное пространство моря Лаптевых, тюрьму НКВД, карцер в Кандалакше, разные безысходные эпизоды в смерше и в гестапо, из которых он все-таки выпутывался, он думал сейчас о том, что ожидание неизбежной гибели легче переносится, если рядом с ним не плывет альтернатива вполне возможной и совершенно ослепительной победы. Ведь если осуществится хотя бы один из трех намеченных вариантов, в эту страну бессмысленной и необратимой жестокости придет свобода, а вместе с ней кончится мучительный маскарад адмирала Моккинакки и Штурмана Эштерхази.

На экране удалялись в какую-то необозримую глубину Лаврентий и Глика. Трудно было понять, где происходит это движение: Башня велика, но откуда в ней берутся такие необозримые дали? Скорее всего, после уничтожения строителей они еще не научились пользоваться аппаратурой. В этот момент произошла смена мониторов, и реальные пространства восстановились. Лаврентий и Глика на среднем плане подходят к большим украшенным резными горельефами дверям, перед которыми стоит на страже отряд смельчаковцев. Берия накидывает Глике на плечи огромную оранжевую шаль и показывает, какими торжественными движениями надо снять эту шаль и накинуть ее как дар советской молодежи на плечи отца народов. Вот, быть может, с помощью этой шали и удастся доставить тирана живым на суд этих самых народов, думает Жорж. Двери открываются, Берия отступает назад, а девушка, «любовь моя незавершенная, в сердце холодеющая нежность», вступает в…

В этот момент кресло с сатанинской силой сжимает со всех сторон неслабое тело Моккинакки-Эштерхази. Выскочивший из подголовника обруч ломает хрящи его горла. За спиной у него падает стена, открывая черную дыру в тайную шахту, откуда поднимается невыносимый смрад и еле слышные стоны еще не умерших строителей. Мгновение – и кресло вместе с телом легендарного

штурмана вылетает из своих пазов и сваливается в дыру. Стена поднимается и восстанавливает мирную обстановку.

Сталин, полулежа в точно таком же кресле, только не снабженном удушающими и катапультирующими устройствами, плавал в мечтах сорокалетней давности. Товарищ Парвалайнен проходит по пляжу в облегающем купальном костюме. Каким образом ей удалось вырастить ноги такой идеальной длины и так гармонично соотнести их по отношению ко всем остальным участкам идеального тела? Она замечает его: «Хеллоу, грузинчик!» Ах, товарищ Парвалайнен! Говорят, что это именно она провела блестящую операцию по экспроприации векселей «Общества взаимного кредита». Большевики, конечно, без конца собачатся во фракционной борьбе, но зато они идеально выбирают место для отдыха. Товарищ Парвалайнен, вся в белом, играет в лаун-теннис с товарищем Коллонтай. «Товарищ Коба, вам нравится наша игра?» Да я готов стать вашим мячиком, товарищ Парвалайнен, летать туда и сюда, набирать вам очки. Нужно будет выйти из партии и стать нормальным бандитом. Надо создать для нее естественные условия роскоши. Куда же вы, товарищ Парвалайнен? Она уезжает, крутя педали тандема, вместе с Левкой Бронштейном. Куда же вы, куда же вы, куда же?

И вот она, наконец, вошла, еще более прекрасная, чем сорок лет назад. «Дружеский вам салют, товарищ Парвалайнен!» Она приближается, как будто бы в замедленной съемке, и над ней чуть ли не до потолка веет великолепный оранжевый стяг, символ братского единства с народами Индии. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» Ах, откуда взялся этот глупый номдегер, как будто я сделан из стали?

Глика, завернувшаяся в сказочную оранжевую ткань, испытывала длительное ощущение нежности. Что за удивительная шаль, и почему она дает такое длительное ощущение нежности? «Дорогой товарищ Сталин, наше божество! От имени советской молодежи я хочу преподнести вам эту удивительную шаль, дающую длительное ощущение нежности!»

Великолепным движением великолепных рук товарищ Парвалайнен торжественно, как указал ближайший сподвижник, похожий все же на гуманоида, а не на дохлого таракана, набрасывает на божество советской молодежи чудодейственную ткань, говоря на языке будущего, дающую длительное ощущение нежности. Нет сомнения, что он сейчас воспрянет из кресла, чтобы и дальше вести стальные полки мира и труда. И впрямь, он вздымается, весь в оранжевом, вздымает и длани, дабы призвать к продолжительному шествию мощи и нежности, и валится лицом вниз на ковер, чтобы не подняться уже никогда.

Глика, вообще-то не понимающая, что происходит, пытается освободить упавшего от великолепной ткани, тянет ее на себя, даже закутывается в нее, чтобы сильнее был рывок; товарищ Сталин, очевидно, еще не совсем готов к продолжению церемонии, нужно ему помочь, поставить его на ноги, продолжить вступление в «Новую фазу», на которую «с вашей подачи» недавно намекал ваш друг Кирилл, дорогой товарищ Сталин!

Распахиваются все двери рубки, вбегает толпа в противогазах, начинает открывать, чуть ли не срывать многочисленные окна, в рубку величественного дома страны вместе с первыми бликами рассвета врываются бури века, леденящий холод стратосферы, но Глика уже не чувствует температуры. Она выходит в пространство и ровными, без всяких усилий, гребками рук начинает удаляться от шедевра мировой архитектуры. Пройдя немного или много, вперед или назад, вверх или вниз, она оборачивается и видит, что дом стал неизмеримо гигантским или микроскопически лилипутским, во всяком случае, отчетливым до каждого кирпича, до всякой молекулы гранита, до всякой царапины на стекле, включая ту, у Дондеронов, которая двумя словами «строили заключенные» проливает океан слез. И суть этого дома по мере удаления становится все виднее, вся яснее, она выскакивает на его фасадах, словно архитектурные излишества, то в виде химер, горгон, драконов, то в образе раздувающихся мало различимых ликов, по всей вероятности, владык, то в виде символов дикообразия, то со свисающим хвостом, то с оскаленной пастью; и вдруг он весь от крошечной косточки в котловане до искорки шпиля, всеми этажами сотрясается, сбрасывает все это с себя и остается стоять просто как жилье, а затем скрывается из глаз, если можно так сказать о том, чем она это увидела на прощанье.

В «Вечерней Москве» 1953 года затерялось маленькое сообщение; вот его текст: «Редкий случай точечного землетрясения. Недавно жильцы Яузского высотного дома были разбужены сильной тряской земной коры. Она продолжалась всего одну секунду и достигла рекордного

уровня в 10 баллов. Случись такое в Америке, был бы разрушен любой из хваленых небоскребов, а вот гордость нашего зодчества устояла!»

Тезей

Он шел в сплошном тумане сначала по горло в воде, потом по грудь, потом долго по колено. Оружие и амуниция становились все тяжелее по мере выхода из воды. Он шел и думал, ради чего он подвергает себя и всю команду подобным мукам. Неделю болтаться в пробздетой тесноте подлодки в ожидании ориентировки. Наконец загружаться подгруппами по шесть в шесть торпедных аппаратов и ждать по полчаса, или по полвека, или по полувечности, в этой совсем уже немыслимой тесноте трубы, от которой единственное спасение заключается в умении потерять себя до того момента, пока сжатый воздух не вытолкнет тебя на поверхность, где тебя давно уже поджидает твое истинное «я», крашенный в защитную краску бугель. И все это по прихоти одного маньяка, олицетворяющего твою страну, твой народ, твое все.

Ориентировка извещала, что операцию надо начинать немедленно. Поскольку все интересующие нас лица уже собрались на острове. Однако неизвестно, сколько они там пробудут. Все вместе или по отдельности. Особенно это касается главного действующего лица. Известного внезапностью и немотивированностью своих поступков. Высаживаться ночью. Передвигаться под водой в ластах и с аквалангами. За полкилометра от берега освободиться от аквалангов. За сто метров от берега сбросить ласты. Выходить босиком. Огневое снаряжение освободить от герметической упаковки только на суше. Однако полагаться в основном на холодное оружие. При любом удобном случае стараться захватить врага. По данным с места, боевое охранение дворца вооружено полуавтоматами М-16. По завершении операции уходить в воду. Ориентир – проблескивающий бугель в секторе XYZ. Уводить только легко раненных. Нетранспортабельные обеспечивают прикрывающий огонь. ОПОС, что означало «один патрон оставлять себе». НБДХП, что означало «не бздеть держать хвост пистолетом».

Даже у самых идеальных бойцов во время военных действий появляется некоторая неприязнь в адрес тех, кто «по штабам» пишет инструкции. Смельчаковцы не говорили по этому поводу ни слова, однако Кирилл по некоторым взглядам и улыбочкам понимал, что и они никакого пиетета к ориентировщикам не испытывают. Особое недоверие обычно вызывают данные разведки. Вот, мол, пишут, что все там собрались, а на самом деле только коты по дворцу и бегают. Вот с таким а-а-авторитетным видом говорят, что у тех там М-16, а там, небось, у всех У-11, которого мы и в глаза не видели. Он старался их отвлечь юмором, в частности, из арсенала Союза писателей:

- Увидев в море красный буй,
- Сказала мама: Это бочка!
- Ты не права, отвергла дочка.
- Дитя, ты мать не критикуй!

Один раз даже песенку фривольную спел: «Цветок душистых прерий, Лаврентий Палыч Берий», чем вызвал такой гогот, что подлодка внештатно раскачалась.

Скептики, как всегда, оказались в чем-то правы, особенно по метеочасти. Обещали чистую синюю ночь со звездами, вместо этого заштормило балла на три-четыре, а туман такой упал, что не видно было ни на йоту главных ориентиров, мигалок на створе островного порта. Все все-таки штатно собрались и поплыли к кровавой цели. Двигались, в общем-то, к галечному пляжу и рассчитывали на прозрачность ядранских вод, а вместо этого перед носом была сплошная каша: очевидно, взбаламутился песок. Совершенно неожиданно стали ощущать под ногами дно и в результате оказались на песчаной отмели недалеко от берега, если судить по звукам противотуманной сирены. Здесь, стоя по горло в воде, стали освобождаться от глубинного оборудования. Море постепенно стихало и наконец полностью успокоилось. Туман, однако, все больше сгущался, и потому командир, то есть сам Смельчаков, решил произвести атаку в ранний рассветный час, когда все бонзы КПЮ храпят, предварительно нажравшись сливовицы и наоравшись партизанских песен.

И вот вся группа, тридцать парней-смельчаковцев и впереди сам Смельчаков, всего, стало быть, тридцать один, сторожко хлюпает по мелководью, имитируя плеск рыб. Никто не произносит ни

звука, связь осуществляется щелчками пальцев, да, в общем, и говорить особо нечего. Поговорим, если останемся живы.

Когда впереди стали чуть-чуть вырисовываться контуры огромных ливанских кедров, что-то сзади прихлопнуло командира стальной мочалой, иначе говоря, фашистской фацестой, наехало и отъехало скоростным катком, своего рода ударной акулой. Он упал во весь рост лицом в воду и до мельчайших подробностей, букву за буквой, продумал дурацкую мысль-шутку: «Утопия происходит от утопленника». После этого встал.

Отряд уже прошел. Нетранспортабельных не подбираем. Распогодилось. Солнечные блики играли повсюду вокруг, словно стая золотых рыбок. Иные из них вопрошали не без ехидства: «Чего тебе надобно, старче?» Держа на плече невесомый «шмайзер», он дошел до недалекого берега и стал подыматься по мраморной лестнице. Каждый медлительный шаг поглощал за раз по десятку ступеней, как будто был ты гигантом. Пошли строения древних бань, потом галереи агоры. Там толпа мужиков пристально вглядывалась в его приближение. Политбюро КПЮ было в составе толпы, облаченное в тоги. Иные из них делали вид, что читают газеты, а сами поглядывали поверх очков. Иосип Броз Тито, горделив, как младенец, ножкой сучил, не скрывал своего любопытства. Вскоре вопрос поступил от его собственного изваяния: «Что привело вас сюда, великан, на прекрасный Бриони?» Взглядом и мыслью он показал, что хочет спуститься под землю. Якобы слышал, что здесь распростерта рука Критского лабиринта.

«Знамо ли вам, – вопросил истукан, – что, спустившись в глубины, больше уж вы никогда к свету земли не вернетесь?» Взглядом и мыслью он показал, что посвящен в регламент.

И сразу после этого каменная дорога стала уходить вниз. Отсутствием ступеней она с каждым шагом показывала, что принадлежит к хтоническим временам. Некоторое время Бриони еще наблюдал, как маячит в зловещей дыре голова великана; потом все исчезло.

Долго ли шествовал Кирилл во мраке, не дано было ему знать. Однажды высветилась черным по черному какая-то надпись. Он не знал финикийского, да и вообще никакого письма, но по наитию догадался, что здесь можно отлить. Кто-то захлюпал шагами в пене его мочи, и приблизился Жорж. Похоже на то, что ты уже повстречал Минотавра, сказал один другому. Ответ приплыл, словно эхо. Бык растоптал меня в прах и размазался с визгом по стенам. А меня сзади прихлопнул Аап, но потом я прошел по нему. Ну что ж, пойдем теперь вместе, сказали они, все теснее смыкаясь. Но диалог продолжали вести, и всякий вопрос начинался с «а помнишь?».

- А помнишь, как было сладко?
- А помнишь, как было горько?
- А помнишь, как было терпко?
- А помнишь, как было мягко?

И всякий раз ответ поступал в форме «не очень, прости, не очень»… пока не пришел вопрос:

А помнишь, как было пьяно?

Вот тут возгорелись они голубым огнем, как неразведенный спирт, бывает, горит от брошенной папиросы. Как пьяно бывало тогда на льду, в том бешеном Комсомоле! И дальше пошло:

- А помнишь, как было жутко?
- А помнишь, как было дерзко?
- А помнишь, как было клево?
- А помнишь, как было гнусно?

И всякий раз ответ поступал в форме «прости, но почти не помню», пока не пришел вопрос:

А помнишь, как было любо?

И тогда в левой руке у них оказался моток белоснежной шерсти. И нитка стала разматываться, и сразу же забрезжил свет. И так Тезей, не признавая ступеней, поднялся в Божественный Мир. И увидел Гликерию, сидящую в небе, расставив ноги, и она пряла свою пряжу. Она вся сверкала, елочки-палочки, как новогодняя звезда-надежда! «Ну, вот и вы, мои мальчики! – произнесла она. – Теперь поднимайтесь в меня!» И они, или он, Тезей, стали, или стал, вздыматься и сливаться с ней, единственной или многоликой, и было мягко, и горько, и жутко, и гнусно, и терпко, и сладко, и дерзко, и было клёво, было любо, и стало всегда.

Сорок два года спустя

В 1995 году, то есть сорок два года спустя после описанных в этих сценах событий, я, Костя Меркулов, Вася Волжский, иными словами, Так Такович Таковский, впервые после изгнания вернулся в Москву. Мне шел уже шестьдесят третий год, но из этого числа пятнадцать я провел в Бразилии, читая лекции по утопиям в университете Сплош Марвелоз Дуранте. Со мной приехала моя бразильская жена Эшперанша, которая за эти пятнадцать лет превратилась из романтической персоналочки в симпатичную толстушку-хохотушку.

Понятно, что, как только я увидел из гостиницы статную громадину Яузской высотки, у меня заколотилось сердце. Вершина юности, горький алтарь разочарований – так высокопарно я научился выражаться в Бразилии. Эшперанша, конечно, попыталась улучшить мое настроение. Начала, как всегда, с подколок: ну что, дескать, в нем особенного, в этом небопоскребышеве? (Португальский язык Бразилии фонетически очень близок к нашему исконному. Очевидно, из-за обоюдного богатства шипящими и жужжащими согласными. Иной раз идешь по кампусу, студенты вокруг шпарят по-португальски, а тебе вдруг слышится: «Ты што шипишь и жужжишь, пшонки што ли нашамался?»; имеется в виду, разумеется, каннабис.) Так и сейчас получилось: моя девушка употребила какой-то устаревший сленг, а мне почудилась правая рука Сталина.

Она продолжает: ну, конечно, высокая штука, но в Сан-Паулу есть и повыше. Старается меня вздрючить, чтоб я завелся и стал куролесить словами, но я не отвечаю, потому что прохожу через сущую бурю ностальгии, любви, тоски и жалости. Ну что я могу рассказать об этом пике погибшей утопии, который Дмитрием Чечулиным так ловко был посажен грандиознейшей жопой в километре от Кремля, посреди свалок социализма, ей, антиподской молодой тетке (или телке?); что она в этой мелодраме прочтет?

Мы выходим из «Балчуга-Кемпински» и идем по Раушской набережной в сторону Большого Устьинского моста, за которым как ни в чем не бывало держит свои этажи Яузская высотка. Эшперанша продолжает без остановки шипеть и жужжать, временами переходя на взрывные космополитические инговые окончания. Я стараюсь ее не слушать и вспоминаю промелькнувших передо мной жильцов этого дома, людей высотной неоплатоновской элиты. Слово «элита», между прочим, за эти годы стало знаковым в языке московского плебса.

Как ни странно, я, псевдоплемянник, не утратил связи с распавшейся семьей Новотканных. Не реже пары раз в месяц перезваниваюсь или сообщаюсь по e-mail с 82-летней красавицей Ариадной Рюрих. После крушения ее любимого СССР она стала знаменитой писательницей, автором двух мировых бестселлеров, мемуаров нашего века «Кривляка Гитлер» и «Танцуем в Кремле». Гонорары ее, как сообщают, бьют рекорды мисс Роулинг, что позволяет ей держать множество вилл на разных островах Средиземного моря и мирового океана, куда она нас с Эшпераншей постоянно приглашает, а я никак не могу собраться. Мне кажется, что наша поразительная и в чем-то даже благородная, невзирая на все ее «йухи», Адночка одержима чем-то вроде соперничества с небезызвестной Ленни Рифеншталь, о чем говорят ее подводные съемки в разных прозрачностях подводного мира. С большим или меньшим постоянством она пребывает на Ибице, где ее всегда ждет верный, хоть немного и оскандалившийся спутник, капитан Фаддей Овсянюк. Он занимается садами, конюшнями, плавсоставом и автопарком и никогда не приближается к буфетной. В отсутствие Ариадны он принимает журналистов и часами беседует с ними о своем творческом сотрудничестве с «женщиной века».

Что касается Ксаверия Ксаверьевича, он тоже не пропал. Бросив вызов антинародному режиму, он стал членом Государственной Думы от КПРФ. Пользуется всеобщим уважением как самый засекреченный в прошлом ученый, творец нашего генерального устройства, а также как человек высокой культуры, настоящий советский интеллигент, хотя депутаты ЛДПР его побаиваются: им кажется, что могучий старик может ни с того, ни с сего наброситься с кулаками.

Нюра за эти годы нарожала ему множество детей (сколько – точно не могу сказать, а врать не хочется), так что кубатура на 18-м этаже комфортабельно заселена. Слово «комфортабельно» сыграло хорошую роль в обустройстве быта новых Новотканных. Не будет секретом сказать, что Нюра приватизировала всю структуру Спецбуфета и назвала компанию «Комфортабельный кэтеринг».

Легче всего мне вспомнить своего ближайшего друга Юрку Дондерона. В течение нескольких лет он делил со мной бразильское изгнание. В годы «хрущевской оттепели», оправившись после своего дерзновенного полета, этот вьюноша летучий был сначала сактирован как инвалид труда, а

потом полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. В разгар венгерской революции Юрка в знак протеста умудрился жениться на двух сестрах Нэплоше. Позднее протест перерос в большую двойную любовь. Все это наше общество, бывшие «плевелы», в бесконечные годы «зрелого социализма» и «застоя» вело такой слегка чуть-чуть несколько диссидентский, такой, в общем, протестный образ жизни, за исключением Боба Рова, который окончил юрфак и стал прокурором. Нас все время куда-то таскали, делали предупреждения, лишали заработка. Позднее, к 1980-му уже году, после того как мы с Юркой выпустили неподцензурный альбом «Джаз и только джаз!», две главные советские бабы, Степендида Властьевна и Гризодуба Братановна, выбили нас сапогами под зад аж в Бразилию. В этой шипящей и жужжащей стране Юрка с женами тащился, тащился, мыкался, волочился и вдруг инициировал ударное трио с массой дополнительных звуковых эффектов. Сестры к тому же на скрипках вполне прилично, то одна, то другая, то вместе, вступали, а Юрка за жизнь наблатыкался весьма на своем саксе-альтушке. Жизнь, говорил он, и не тому научит. И вдруг – неожиданный успех! Критики стали о них с энтузиазмом писать: ну, разумеется, «Из России с джазом», ну чуть поглубже, «Звуки из подполья», эдакая, так сказать, парафраза к Достоевскому, и т. д. Объездили всю необозримую Бразилию с концертами, записали несколько дисков, промчались по телеканалам, и все это без всякого мандража, спокойно, весело; все равно, мол, терять нечего, а оказалось, кое-что можно и найти. А ведь было всем троим уже за полсотни.

Года два назад трио «Дондерон и Нэплоше» приехали с концертами в Москву и, увидев, какая тут после Августа-91 разгулялась свобода, восхищенные и умиленные, решили остаться. Словом, сегодня вечером мы идем к ним на Арбат, в клуб «Плевелы из фавелов»; вот уж посвингуем за милую душу!

Предаваясь этим воспоминаниям и отвечая только улыбками на бесконечный монолог своей бразильянки, я шел с ней под руку через мост и смотрел на бордюр 35-го этажа, с которого Юрка в чудовищную пургу 1953-го спрыгнул на дельтаплане пана Затуваро-Бончбруевича. Юрка почему-то никогда вслух не вспоминает о своем геройстве и даже злится, когда кто-нибудь его к этому побуждает. Я никогда этого не делаю. Просто мы иногда смотрим друг другу в глаза и читаем в них безысходную тоску по Глике.

Мы подошли вплотную к высотке, и я положил на ее гранитный бок свою правую руку. Мемориальных досок на этом боку за время моего отсутствия основательно прибавилось. Здесь были имена народных артистов, писателей, композиторов, ученых, а также изобретателей разного рода «устройств». Ну а рядом с ними, в первом этаже, пооткрывалось много всякого рода буржуазных заведений. Мы зашли сначала в «Персону грата» и выпили там зеленого чаю с живой мятой со склонов горы Хермон. Потом заглянули в «Чарли Чаплина», где как бы практиковался «сухой закон» и выпить как бы рюмку водки можно было только под прикрытием как бы брусничного сока. Потом решили поесть в «Тутто бене», но там кухня была закрыта в связи с угрозой взрыва, и мы ограничились бутылкой отменного «Кьянти» у стойки бара. В завершение этих экспериментов посетили «Иллюзию счастья» и там «отлакировали» все предыдущее шампанским «Веселый корнет».

«Ты знаешь, а мне нравится в этой вашей Ква-Ква, – так Эшперанша решила назвать Москву. – Чисто, вежливо, с понтом. Что здесь, всегда так было?»

«Боюсь, что нет, – ответил я. – От прежнего только вот магазин „Овощи-фрукты“ остался. Хочешь, зайдем?»

Этот магазин был в высоту значительно больше, чем в длину. Раньше, бывало, оказывался весь забит очередями то за редким фрукт-бананом, то за луком-бузулуком. Теперь в смысле народных масс было пустовато, а вот прилавки были хаотически заставлены и завалены разного рода поставками, причем норвежские сельди непринужденно соседствовали с бельгийскими шоколадками.

Главным действующим лицом описываемого момента, то есть, в общем-то, завершающего повесть эпизода, была пожилая, но, как говорится, «еще ничего» дама в малиновом брючном костюме, основательно сутуловатая, но еще на прытких ножках, в начесанном паричке и с натянутой подтяжками маской циркового лица. Она бодренько цокала высокими каблуками вдоль прилавков и отпускала вопросительные и восклицательные реплики: «А это сколько стоит?», «А это в какую цену?», «Ой-ей, кусается!» Интересно, что продавщицы, которые всегда

были очень надменны в этом магазине и внешне вроде бы совсем не изменились, были с этой дамой весьма обходительны. Одна из них показалась мне знакомой еще с 1952-го, ее, кажется, звали Шурой.

«Простите, Шурочка, – обратился я к ней с бразильской галантностью, – не скажете ли вы мне, кто эта дама в малиновом костюме?»

Суровая продавщица вдруг расплылась отменнейшей любезностью. «Ну как же, ведь это наша знаменитость, народная артистка Кристина Горская. А вон и наш любименький Штурманочек сидит: она ведь всегда вместе с ним к нам заходит».

В углу сидел на солидной попе большой и очень старый тигр. Глаза у него явно слипались, и он иногда зевал, обнажая один сохранившийся клык и рядом некоторое количество коренных.

«Боже мой, да ведь это же Штурман Эштерхази! – ахнул я. – Сколько же ему может быть лет?»

«Ой, не говорите, – вздохнула Шура, – уж мы так тут все боимся, как бы он не умер. Ведь он нам как родной».

Ее соседка, кажется, Вера, крикнула через магазин: «Штурманооочек, хочешь яблочко?» Тигр сбросил дремоту и не без труда, но с готовностью поднялся на задние лапы. Крутобокое румяное полетело ему прямо в пасть. Он с аппетитом его сжевал и в знак благодарности помахал Вере передними лапами. Шура, кажется, смахнула слезу. Эшперанша в полнейшем изумлении прижалась щекой к моему плечу. Иесус, Мария и Иосиф, что же это за буддизм процветает в этой Ква-Ква-Ква? Артистка Кристина Горская посмотрела на меня слегка чуть-чуть в несколько прежней манере, через плечо. Вы кого-то мне напоминаете, сеньор. Почему она решила, что я сеньор, по жене или по жилетке? Когда-то, сказал я, сорок два года назад, мы прогуливали в здешнем дворе добермана по кличке Дюк. О, я помню Дюка, она с уважением округлила рот, от него пошла целая линия отменных пинчеров. Ах, она рассыпалась почти неуловимыми, но многочисленными морщинками, а как они играли со Штурманочком! И я вас помню, мисс, сказал я к ее вящему удовольствию от такого обращения. Впрочем, вас помнит вся страна.

Да, солидно кивнула она, я имею здесь большое ответное обязательство.

«А вы помните, мисс Горская, человека по имени Кирилл Смельчаков?» – спросил я и уставился на нее довольно бесцеремонно.

Послышались аплодисменты: Штурманочек поймал редисочку. Артистка сделала вид, что припоминает.

«Нет, я его не помню», – твердо сказала она.

«Но, может быть, вы помните Жоржа Моккинакки, Кристина?» – с надеждой я вперился вновь в ее черты.

«Решительно нет, – ответствовала она и пояснила: – Абсольман рьен!»

Как-то странно получается, не без печали подумал я. Если никто никого, кроме животных, не помнит, значит, рассыпаются и все наши записи?

«И все-таки, госпожа Горская, все-таки вы должны же помнить нашу с Юркой Дондероном незабвенную Глику Новотканную, ну же, ну ж!»

Она посуровела лицом и общей статью.

«Ее не называйте всуе, она святая „Новой фазы“!»

Январь – август 2005
Москва – Биарриц

Виктор Топоров. Зачем откопали Аксенова?[68]

В ночном эфире Второго канала Василий Павлович беседует с лебезящим Дибровым: у нас в Ростове 70-х вы были круче Воннегута. Книга с квакающим названием переходит из рук в руки и мельтешит на экране. Аксенов суров, но справедлив: ему нравится…

[68] «Взгляд». 2 апреля 2006 г. - http://www.vz.ru/columns/2006/4/2/28388.html

О новом романе Василия Аксенова «Москва Ква-Ква» спорят самым уважительным образом. Одни утверждают, что он – в отличие от букероносных «Вольтерьянцев и вольтерьянок» – не очень хорош. Другие указывают на то, что роман написан левой ногой. Третьи и вовсе хвалят.

Но и те, и другие, и третьи всерьез обсуждают якобы положенные в основу романа миф о Тезее (привет Пелевину) и платоновское (Платона, а не Платонова) идеальное государство, говорят о художественных достоинствах и недостатках.

Аксёнов

Меж тем перед нами не просто наглая, циничная, бездарная и невежественная халтура. Перед нами разжижение мозгов, болезнь Альцгеймера, перед нами старческий маразм, кое-как замаскированный под политический гротеск.

Москва, 1952 год. Высотка на Яузе как символ эпохи и обиталище новой элиты. 18-комнатная квартира «атомного» академика Новотканного. Все персонажи носят вычурные нелепые имена с претензией. Где на сатиру, где на юмор.

Сам академик, его 40-летняя красавица жена генерал-майор Ариадна Рюрих (естественно, Рерих!), 19-летняя красавица дочь – спортсменка, комсомолка и девственница Гликерия. «Спецбуфетчики» – супружеская пара – капитан Федор и майор Нина. Помимо профессиональных услуг и общей слежки, капитан пользует Ариадну, а майор – Ксаверия Ксаверьевича.

В соседнюю квартиру вселяется Кирилл Смельчаков (Константин Симонов) – красавец, поэт, лауреат, герой войны и борьбы за мир, донжуан и авантюрист, личный друг Сосущего (то есть Сосо, то есть Сталина).

Сейчас Кирилл одинок, потому что Сталин приказал ему вернуть чужую, генеральскую, жену мужу. С Симоновым, кстати, дело обстояло ровно наоборот: по приказу Сталина Рокоссовский вернул ему жену-актрису, героиню наряду с прочим такой симоновской эпиграммы: «Под камнем сим лежит Серова Валентина,/ Моя и многих верная жена./ Избавь ее, господь, от сплина,/ Ведь в первый раз она лежит одна».

У Кирилла и Глики завязывается платоническая любовь. Девушка считает себя невестой Сталина. Сосущий вызывает Кирилла к себе, напаивает, пугает арестом за поэму «Тезей», в которой под видом Минотавра, полагает Сталин, выведен он сам. Примитивной символикой мифа о лабиринте, как и беспомощными якобы симоновскими стихами, пронизано все повествование.

Сталин устраивает Кириллу потешный расстрел, но в конце концов меняет гнев на милость: Смельчакову предстоит возглавить специально сформированный отряд смельчаков, который, десантировавшись в Югославию, уничтожит маршала Тито и всю его клику. Начальником штаба у Смельчакова будет сталинский конфидент Чаапаев – не сын Чапаева, но прямой потомок Чаадаева.

В разговоре со Сталиным Кирилл невзначай упоминает еще одного соседа по высотке – адмирала Моккинакки, с которым он познакомился аж на Халхин-Голе. Сталин отвечает, что такого адмирала в стране нет, – и поручает Абакумову разобраться в ситуации.

Меж тем Моккинакки ухаживает за Гликой, и куда с большим успехом. На боевом самолете улетает с нею на Лазурный Берег, уверяя академическую простушку, будто они летят в Абхазию. Первое совокупление (и еще несколько) происходят прямо на борту. По возвращении вкусившая радостей телесной любви Глика спешит поделиться новыми ощущениями и с Кириллом.

Мужчины ревнуют, хотя и симпатизируют друг другу. Однажды адмирал просит у поэта взаймы, тот раскрывает чемоданчик, врученный ему в ВААПе, и обнаруживает, что тот набит конвертируемыми бумагами Госбанка на сотни миллионов долларов. А гребчиха Глика успевает съездить на Олимпиаду в Хельсинки, где, хоть и берет всего третье место, получает всеобщее признание в качестве секс-символа.

В действие входят новые персонажи – представители золотой молодежи, стиляги, фарцовщики, любители джаза, предводительствуемые сыном еще одного «атомного» академика – Дондерона.

Не последнюю роль в компании играет и авторское alter ego – прибывший из Казани, где его выгнали из мединститута как промолчавшего при поступлении о репрессированных родителях, поэт Так Такыч Таковский. После драки с дружинниками (ни дружинников, ни стиляг при Сталине не было, но мафусаилу Аксенову это до лампочки) Дондерона-младшего сажают в тюрьму. А Так Такыч находит убежище в заповедных глубинах квартиры Новотканного, где, в очередь с капитаном Федором, подживает со старшей хозяйкой дома и раскатывает губу на младшую.

Ариадна не только ведет себя, но и выражается вызывающе (любимое слово «йух»), – и у нее есть на то все основания. В годы войны она по личному заданию Вождя слетала в Берлин, соблазнила и выкрала Гитлера и доставила его прямо в Кремль, откуда фюрера вернули на родину лишь в обмен на обещание о постепенной капитуляции, но Адольф и на этот раз, как в 1941 году, Сосущего обманул.

Меж тем к адмиралу начинают присматриваться всерьез. И выясняют, что никакой он не адмирал. И не юрисконсульт (за которого выдает себя в финансовых сферах). А один из легендарных соратников маршала Тито – штурман Эстерхази. А значит, пора его брать.

Но Моккинакки уходит из высотки, переодевшись агентом в штатском и «положив» полдюжины настоящих агентов в вестибюле. Спасается он в мясном ряду на колхозном рынке: здесь, выдавая себя за узбеков, окопались титоисты.

Сюда же перед началом решительного штурма прибывает и сам маршал. Тито и его люди чувствуют себя в полной безопасности не в последнюю очередь потому, что в их заговоре состоит и сам маршал Берия. Который на званом вечере у Новотканных принимается лапать Глику – и наталкивается на решительный отпор.

Не с ее стороны (Глика теперь девушка податливая) – с маршалом чуть не вступает в драку Смельчаков. И тут ему на квартиру Новотканных, демонстрируя свое благоволение, звонит Сосущий… Между делом Моккинакки вызволяет из темницы Дондерона-младшего – как раз когда того собираются «пустить по шоколадному цеху», то есть «опустить». Адмирал переводит юношу строителем на спецобъект (в «шарашку» – тут воздушный поцелуй Солженицыну), но и здесь засада: всех участников стройки по ее завершении должны расстрелять.

Решающие события происходят 1 марта 1953 года. 1 марта – дата в отечественной истории роковая, но Аксенов этого не знает и, соответственно, не упоминает.

Смельчаков с Чаапаевым улетают якобы в Стокгольм, а на самом деле – убивать Тито в Югославию. А Тито со своим адмиралом устраивает мятеж в Москве – берут Кремль, берут «ближнюю дачу». Однако Сталин удирает на подводной лодке в высотку на Яузе и отдает приказ сбросить атомную бомбу на Югославию.

Впрочем, все это как-то зависает и рассасывается, концы с концами не сходятся, престарелого писателя интересует один-единственный поворот сюжета: разочаровавшись в Смельчакове (в браке которого с Гликой предполагалось, зачав сверхчеловека, начать Новую фазу), Сталин призывает юную красавицу к себе – и умирает в ее объятиях и с нею в один миг. Перед этим верные Сосущему люди успевают ликвидировать адмирала. Куда девать Смельчакова, Тито и Берию, Василий Павлович придумать не смог – еще лет тридцать тому воображалка повисла на полшестого.

В эпилоге Так Такыч (вкратце пересказав аксеновскую версию «вынужденной эмиграции») вдвоем с женой возвращается в 1995 году в Россию (из Бразилии!).

И все у него хорошо. И у 82-летней красавицы и знаменитой мемуаристки Ариадны Рюрих тоже. А у остальных не очень. И кое-кто из «бывших» исповедует катакомбную религию «Новой фазы» и как Святой Деве поклоняется Глике Новотканной.

Написано ужасно, напечатано фантастически безграмотно, с грамматической ошибкой в первом же слове романа; не всегда понятно, то ли редактор с корректором схалтурили, то ли писатель сострил – взять, например, слово «сИдалище» вместо «сЕдалище». Вот, впрочем, несколько проб пера:

В Москве, хоть и именовалась она «столицей мира и социализма», как в любом мегаполисе, бытовали некоторые кодовые фразы. Вот, например, если вы вознамерились купить доброй мясной вырезки, вам не обязательно было делать партийно-государственную карьеру и присоединяться к спецбуфетовским рационам. Можно было на Центральном, скажем, рынке подойти к мясному ряду, подойти к специалисту и задать ему условный вопрос: «У вас есть колхозное мясо по три двадцать?» Не пройдет и десяти минут, как вам вынесут увесистый кусман в газетном свертке и назовут окончательную цену. Будьте уверены, заказанный продукт не подкачает ни в свежести, ни в качестве разруба.

У Аксенова каша во рту? Да нет, конечно же, – вставная челюсть! Но, приступая к сочинению прозы, он ее всякий раз вынимает.

Она пожала плечами, замолчала, потом у нее совершенно по-детски искривился рот, вот-вот заревет, схватила полотенце, отвернулась от меня и стала судорожно тампонировать глаза... «Ну только тебя еще здесь не хватало, Такович! – с характерной грубоватостью, свойственной МГУ, произнесла она и нежнейшим образом высвободила свой локоток.

Кто их, блин, учил, Аксенова с редактором, сочетать «характерное» со «свойственным» в одной синтагме? А как вам глагол «тампонировать»?

А вот голос Сталина:

Хочу тебе, Кирилл, рассказать об одном своем личном свойстве. Это, быть может, самый большой мой секрет. Капиталистические кремленологи до него так и не докопались. Тебе первому откроюсь. Дело в том, что у меня очень сильно развито чувство врага. В жизни и в политике я много раз на него полагался. И никогда не ошибался.

С чего бы это Сталин заговорил в рифму? А вот стихи якобы Симонова (Смельчакова):

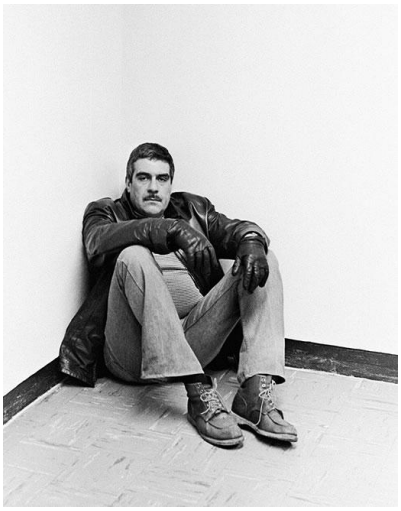
Мой друг спешил на мотоцикле…
Река, безлюдье, парапет…
И вдруг увидел юной цапли
Замысловатый пируэт.
О юность, нежность, липок почки,
Хор лягушачьих батарей!
Девчонка пляшет в одиночку,
Поет при свете фонарей.

Вышедший в издательстве «Эксмо» тиражом в 30 100 экземпляров (и одновременно в журнале «Октябрь») роман «Москва Ква-Ква» написан в январе – августе 2005 года в Москве и Биаррице. Про Москву все ясно; а вот название курорта (и французское гражданство престарелого писателя) поневоле заставляет вспомнить анекдот про Жана и Жаннету на необитаемом острове: через три месяца она ему надоела, и он ее убил. Через полгода окончательно надоела, и он ее закопал. Но через девять месяцев соскучился – и выкопал из песка.

У французов, понятно, свои заморочки, но какой, сказал бы Хрущев, пи…с выкопал из литературной могилы Аксенова? А главное, на кой йух?

Сергей Довлатов

Справочный материал



Сергей Донатович Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, куда родителей эвакуировали во время войны, в семье театрального режиссера Доната Исааковича Мечика (1909-1995) и литературного корректора Норы Сергеевны Довлатовой (1908-1999). В 1944 году семья вернулась в Ленинград. Вскоре отец Сергея Довлатова Донат Исаакович ушёл из семьи. Общались они редко, в основном посредством записок.

В 1959 году Довлатов поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова (кафедра финского языка). Во время учёбы подружился с молодыми ленинградскими поэтами Евгением Рейном, Анатолием Найманом, Иосифом Бродским. Однако университет пришлось покинуть после двух с половиной лет обучения (отчислен со второго курса за неуспеваемость).

С 1962 по 1965 год Сергей Довлатов служил в армии, в системе охраны исправительно-трудовых лагерей на севере Коми АССР. После демобилизации поступил на факультет журналистики ЛГУ, в то же время работая журналистом в многотиражке Ленинградского кораблестроительного института "За кадры верфям". Начал писать рассказы. Входил в ленинградскую группу писателей "Горожане" вместе с В. Марамзиным, И. Ефимовым, Б. Вахтиным и др. Одно время работал личным секретарем у писательницы Веры Пановой.

В 1972-1975 гг. жил в Таллинне, работал корреспондентом газет "Советская Эстония" и "Вечерний Таллин". В 1976 г. вернулся в Ленинград, был принят в штат журнала "Костер". Писал рецензии для литературных журналов "Нева" и "Звезда". Работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике под Псковом (Михайловское).

Писал прозу, но из многочисленных попыток напечататься в советских журналах ничего не вышло. Набор его первой книги был уничтожен по распоряжению КГБ. С конца 60-х Довлатов публикуется в самиздате, а в 1976 году некоторые его рассказы были опубликованы на Западе в журналах "Континент", "Время и мы", за что был исключен из Союза журналистов СССР.

В 1978 году из-за преследования властей Довлатов эмигрировал в Вену, а затем переселился в Нью-Йорк. Издавал "лихую" либеральную эмигрантскую газету "Новый американец", с 1980-го по 1982-й был ее главным редактором. Одна за другой выходят книги его прозы — "Невидимая книга" (1978), "Соло на ундервуде" (1980), повести "Компромисс" (1981), "Зона" (1982), "Заповедник" (1983), "Наши" (1983) и др. К середине 80-х годов добился большого читательского успеха, печатался в престижном журнале "New-Yorker", став вторым после Владимира Набокова русским писателем, печатавшимся в этом солидном издании.

За двенадцать лет жизни в эмиграции издал в общей сложности двенадцать книг, которые выходили в США и Европе. В СССР писателя знали по самиздату и авторской передаче "Писатель у микрофона" на радио "Свобода".

Довлатов был официально женат дважды. От первого брака с Асей Пекуровской у него осталась дочь Мария (р. 1970 г.). Двое детей — Екатерина (р. 1966 г.) и Николай (р. 1984 г.) — от второй жены Елены Довлатовой. Дочь Александра (р. 1975 г.) — от гражданской жены Тамары Зибуновой.

Сергей Довлатов умер в возрасте 49 лет 24 августа 1990 года от сердечной недостаточности, в машине скорой помощи по дороге в больницу. Похоронен в Нью-Йорке на кладбище "Маунт Хеброн" (Mount Hebron Cemetery).

Ариэль

Писатель снял дачу. Занял четвертое бангало в южном ряду. Будучи человеком необщительным, разместился между двумя еврейскими семьями. Нуждаясь в тишине, снял дом около железнодорожного разъезда. Звали его Григорий Борисович Кошиц.

Шло лето. Русская колония вела привычный образ жизни. Мужья приезжали на выходные. Сразу же надевали тренировочные костюмы и бейсбольные шапочки. Жены целую неделю разгуливали в купальниках и открытых платьях. Голые дети играли на песке у воды.

Мужчины купались, загорали, ловили рыбу. Женщины ездили в машинах за покупками. Они присматривали за маленькими и готовили еду. По вечерам они говорили:

- Чего-то хочется. Сама не знаю чего...

Григорий Борисович держался замкнуто. Загорать и купаться он не любил. Когда его приглашали ловить рыбу, отказывался:

- Увы, я не Хемингуэй. И даже не Аксаков...

- Ну и тип, - говорили соседи.

- Слов много знает...

Целыми днями писатель работал. Из его распахнутого окна доносился стук пишущей машинки.

Повторяю, был он человеком неразговорчивым и замкнутым. Между тем справа от него жили Касперовичи. Слева - Мишкевицеры. В обеих семьях подрастали дети. У Касперовичей их было четверо. У Мишкевицеров - трое, да еще восьмилетний племянник Ариэль.

В колонии было шумно. Дети бегали, кричали, стреляли из водяных пистолетов. Кто-то из них вечно плакал.

Если дети не ладили между собой, за них вступались родители. Ругаясь, они переходили на английский:

- Факал я тебя, Марат!

- А я, Владлен - тебя, о кей?!.

По вечерам чуть ли не у каждого бангало дымились жаровни. На полную мощность были включены транзисторы. Дачники ходили по территории с бутылками в руках. В траве белели пластиковые стаканы.

Если шум становился невыносимым, писатель кричал из окна:

- Тише! Тише! Вы разбудите комаров!..

Как-то раз Григорий Борисович отправился за покупками. Лавка находилась в пяти минутах от колонии. Так что не было его около получаса.

За это время случилось вот что. Дети, играя, забежали в четвертое бангало. Сорвали занавеску. Опрокинули банку с настурциями. Разбросали бумаги.

Писатель вернулся. Через минуту выскочил из дома разъяренный. Он кричал соседям:

- Я буду жаловаться!.. Мои бумаги!.. Есть закон о неприкосновенности жилища!

И после этого:

- Как я завидую Генри Торо!..

- Типичный крейзи, - говорили соседи.

- У него, видите ли, ценные бумаги!

- Ценные бумаги! Я вас умоляю, Роза, не смешите меня!

- А главное - Торой укоряет. Мол, не по-божески живете...

Писатель стал еще более хмурым и неразговорчивым. Уходя, вешал на дверь замок. Новые шторы в комнате были опущены до самого подоконника.

По выходным дням колония становилась многолюдной. Приезжали отцы семейств, знакомые, родственники. У писателя, видимо, родственников не было, да и знакомых тоже. Лишь однажды его навестил молодой американец с кинокамерой.

Шел август. Дни стояли мучительно жаркие. Только вечерами бывало прохладно.

Днем вся колония уходила на озеро. Писатель оставался дома. Иногда он прогуливался вдоль дороги.

Помню, было солнечное, теплое утро. Колония опустела. Григорий Борисович вынес стул на крыльцо. На коленях он держал пишущую машинку.

И вдруг он заметил мальчика. В полном одиночестве тот сидел на бревне. У ног его валялись разноцветные пластмассовые игрушки.

Мальчик сидел неподвижно. Услышав стук пишущей машинки, не обернулся. Все это продолжалось около десяти минут. Легкое синеватое облако за это время переместилось к югу. Тень от платана чуть сдвинулась влево.

Писатель наконец сказал:

- Эй, мизерабль! Кто ты? Как тебя зовут?

- Меня? Я - Арик.

- В смысле - Арон? Или Аркадий?

- Ариэль, - был ответ.

- Где же крылья твои, Ариэль? - спросил писатель.

- Нету, - коротко и без удивления ответил мальчик, - а тебя?

- Не понял, что - тебя?

- А как тебя зовут?

- Меня зовут Григорий Борисович. И крыльев у меня, признаться, тоже нет...

С озера долетали крики и шум моторных лодок.

Писатель спрашивает:

- Ты что здесь делаешь? И почему - один?

Ариэль:

- Я был на озере, но Анджелочка сказала: "Убирайся".

- Это почему же?

Мальчик ответил с готовностью и почти хвастливо:

- Да потому что у меня вши. Вот почему.

- Ты уверен? - писатель шагнул к нему, оставив машинку.

- Уверен. Мама сказала - кошмар. Помыла меня керосином. Мы за ним специально съездили в Рамсдейл. Хочешь мою голову понюхать?

- Не откажусь. Премного благодарен.

- Только осторожно. Они ведь могут и на тебя перепрыгнуть.

Писатель ощутил запах керосина. Вспомнил послевоенное детство. Лето на даче в Тарховке. Гудки паровоза "ФД". Поджаренные на керосинке оладьи...

Ариэль сказал:

- Вот поэтому я не могу играть с детьми.

- А ты их видел? - спросил писатель.

- Кого?

- Кого. Да вшей. Что ты знаешь о них?

- Ничего. Они слишком маленькие. Их почти не видно.

- А для чего, по-твоему, существует микроскоп?

- Как это - микроскоп?

- Такой прибор, который все на свете увеличивает. Через него можно разглядывать вшей целыми днями. Жаль, что я оставил его в Нью-Йорке.

- Значит, ты их видел?

- Еще бы. Я же говорю - целыми днями разглядывал, оторваться не мог.

- Ну и как?

- Впечатление, доложу тебе, самое благоприятное. Это крошечные, тихие, хорошо воспитанные букашки. У них большие синие глаза. Они не шумят. Не повышают голоса. А главное, каждый из них занимается своим делом.

- Да, но они кусаются.

- Иногда. Когда их выводят из равновесия. Что называется, в порядке самозащиты...

Ариэль, затаив дыхание, слушал. Григорий Борисович рассказывал ему о маленькой процветающей стране. Пока не раздался крик:

- Арик! Ты где? Кура стынет...

- Мама, - с легкой досадой произнес Ариэль.

И затем:

- Я еще погуляю.

В ответ раздалось:

- Арик! Если мама сказала - ноу, то это значит - ноу!

- Кура стынет, - грустно повторил мальчик.

- В такую жару, - удивился Григорий Борисович, - странно... Ей можно только позавидовать.

- Ну, я пойду.

Это Ариэль говорит. Писатель в ответ:

- Давай, брат. Заходи, если будет время...

Мальчик убежал, забыв игрушки. Писатель взошел на крыльцо. Водрузил на колени пишущую машинку. Увидел чистый лист бумаги. Привычный страх охватил его.

Игрушка

- Дядя Гриша! Вам нужна машина?!

Он вздрогнул. Когда его неожиданно окликали, писатель вздрагивал. Это началось давно, еще с армейских лет, когда писатель был охранником в Мордовии.

- Дядя Гриша!

Григорий Борисович с досадой и облегчением прервал работу. Вышел на крыльцо.

- Это я - Ариэль. Я машину принес...

Действие происходило в летней русской колонии чуть западнее Монтиселло. Ариэль был племянником Мишкевицеров. Писатель жил от них в двадцати метрах, ближе к железнодорожной линии. Еще левее жили Касперовичи.

- Вы спрашивали про машину. Я наигрался. Ваша очередь.

- А, - сказал писатель, - наконец-то...

Разговор этот начался еще вчера. Григорий Борисович заметил машину, с жужжанием катившуюся по траве. Следом шел Ариэль. В руках у него была черная продолговатая коробочка.

Писатель счел нужным заметить:

- Однако...

Что означало, например - додумаются же люди!..

И вот явился Арик.

- Хотите поиграть?

- Еще бы.

- Тогда смотрите.

В спешке Ариэль начал заикаться. При этом речь его звучала с какой-то дополнительной отчетливостью.

- Вот смотрите. Так включается. Так выключается. Так вправо. Так влево. А так, значит - прямо. Поняли? Учтите - заднего хода нет.

- Как всегда, - реагировал писатель.

Ариэль убежал.

Григорий Борисович тронул пластмассовый рычажок. Машина с жужжанием покатила вдоль газона. Из-под нее вылетали мелкие камешки. Писатель сделал неосторожное движение. Машина резко повернула в сторону. Левое крыло ее уперлось в стену.

Писатель выключил мотор. Затем сказал: "Фантастика", - и удалился. Коробочку оставил на подоконнике. Рядом, возле кривоватой дачной лампы, ожидали его сенсационные мемуары Яновского.

Затем был телефонный звонок из Нью-Йорка. Приходила Фаина жаловаться на мужа. Звучала по карманному радио Ленинградская симфония Шостаковича. Вслед за Шостаковичем явился Мишкевицер. Интересовался погодой на завтра.

Ариэль появился вечером, когда уже стемнело:

- Поиграли?

- Конечно, - сказал писатель, - увлекся. Все дела забросил...

- А где машина?

Машины не было. Коробочка лежала на подоконнике.

- Странно, - удивился писатель, - может, дети взяли?

- Не беспокойтесь, - сказал Ариэль, - я найду.

- Спроси у Левушки. Или у Буси...

- Не беспокойтесь...

Наутро мальчик появился снова.

- Ну как дела? - спросил писатель.

Он не выспался. Пил среди ночи кофе.

- Они не брали.

- Ты о чем? - спросил Григорий Борисович. - Ах, да...

- Они не знают, где машина.

- Так. Куда же она могла подеваться?

Ариэль задумался, потом сказал:

- А вы под домом смотрели?

- Нет.

- Наверное, она под домом.

Григорий Борисович тяжело опустился на колени. Припал к сыроватой земле. Вдыхая болотный запах, протиснулся между двумя гнилыми столбами.

- Фонарик принести?

- Давай.

Под домом обнаружились лыжи, железная решетка, мяч и корпус гитары без струн. Машины не было.

Писатель оглядел свои испачканные брюки.

- Что-то фантастическое, - сказал он.

- Не беспокойтесь, - утешил его Ариэль, - подумаешь. Мне дядя Леня новую купит. У него знаете сколько долларов.

- Сколько? - вдруг заинтересовался Григорий Борисович.

- Очень много. Думаю, больше ста.

И затем:

- Вы под кроватью не смотрели?

- Я посмотрю, - сказал Григорий Борисович.

Писатель отодвинул кровать. Заглянул в кладовку. Порылся в ящиках стола.

- Я завтра приду, - сказал Ариэль.

С этого дня началась ежедневная пытка. Рано утром к нему заходил Ариэль:

- Я только хотел спросить насчет машины.

- Как сквозь землю провалилась, - жаловался писатель.

- Ничего, я вечером зайду.

В конце недели Григорий Борисович принял решение. Дневным автобусом поехал в Монтиселло. Зашел в игрушечный магазин Плейленд. Выбрал машину за сорок шесть долларов. Вернулся. Разыскал Ариэля и вручил ему большую, довольно тяжелую коробку.

- Играй, - сказал он.

Мальчик смутился.

- Зачем? - говорил он, срывая пластиковую ленту. - Не беспокойтесь. Она найдется...

А потом:

- К тому же это, в общем, другая машина. Капот не открывается.

- Капот? - переспросил Григорий Борисович. - А я и не заметил. Колеса, думаю, на месте... Дверцы, руль...

- Это не та машина, - весело сказал Ариэль.

И положил ее в коробку. Поролоновые крепления вставил. Ленту приклеил на старое место.

- Может, сойдет? - упавшим голосом выговорил писатель.

- Вы не беспокойтесь. Подумаешь, машина. У меня их штук двадцать пять. Правда, у той был капот. И фары.

- У этой тоже фары.

- У той были никелированные... Она найдется. Вы на кухне смотрели?

- Смотрел.

- А за плитой?

- За плитой еще не смотрел.

- Может, она там?

Григорий Борисович вынул из стола рейсшину. Долго водил ею за газовой плитой. Выкатил оттуда россыпь дряни, напоминавшей экскременты.

- Не густо, - сказал писатель.

- Найдется, - в который раз повторил Ариэль...

Короче, лето превратилось в ад. Ариэль появлялся, как тень отца в "Гамлете". Ужасом веяло на писателя от его слов:

- Не беспокойтесь. Она найдется.

Писателю снились автомашины. Они съезжались к нему, беспомощному - черные, громадные. Капоты их были угрожающе подняты. Никелированные фары сверкали.

Писатель обратился к Мишкевицеру. Тот сказал:

- Да бросьте. Подумаешь, машина. У него их целый автопарк. Найдется..
Вы на чердаке смотрели?

- Нет у меня чердака, - сказал писатель.

Он почувствовал, что близок к нервному срыву. Забросил все свои дела. Позвонил в Нью-Йорк литературному агенту Гордону Брукмайеру.

- Помнишь, Горди, ты хотел отдать мне свой автомобиль?

- Бери. Он только даром место занимает.

- Какая марка?

- "Бьюик-ригал", восемьдесят первого года. Что называется, в рабочем состоянии. Для новичка в самый раз.

- Фары никелированные?

- Вроде бы.

- Капот поднимается?

- Как это? Зачем ему подниматься?

- Не поднимается капот?

- Поднимается, когда надо.

- Ну, слава Богу...

- Радуйся, мизерабль, - сказал Ариэлю писатель, - ликуй. В четверг тебе пригонят настоящую машину.

- Новую?

- Почти. "Бьюик" восемьдесят первого года.

- Знаю, - сказал Ариэль, - всего шесть цилиндров. К тому же я еще маленький. А когда вырасту, дядя Леня подарит мне новенькую "Тойоту"...

Писатель удалился, сгорбившись, жестикулируя и беззвучно шевеля губами. А потом все разъяснилось. Машину утащил хозяйский пес Дунай. Она поблескивала в глубине его невзрачной будки, как сокровище. Когда хозяин вытащил машину, на боках ее обнаружились глубокие следы зубов.

Теперь писатель часто видел Ариэля около собачьей конуры. Мальчик приближался к Дунаю, беседовал с ним. Что-то внушал ему настойчиво и мягко. Дунай виновато скулил и припадал к земле. Задние лапы его судорожно вздрагивали.

- Ничего, - издали шептал Григорий Борисович, - потерпи. Лето все равно уже кончается.

Встретились, поговорили

Все считали его неудачником. Даже фамилия у него была какая-то легкомысленная - Головкер. Такая фамилия полагается невзрачному близорукому человеку, склонному к рефлексии. Головкер был именно таким человеком.

В школе его умудрились просто не заметить. Учителя на родительских собраниях говорили только про отличников и двоечников. Среднему школьнику, вроде Головкера, уделялось не больше минуты.

В самодеятельности Головкер не участвовал. Рисовать и стихи писать не умел. Даже читал стихи, как говорится, без выражения.

Уроков физкультуры не посещал. Был освобожден из-за плоскостопия. Что такое плоскостопие - загадка. Я думаю - всего лишь повод не заниматься физкультурой.

Учитель пения говорил ему:

- Голоса у тебя нет. И души вроде бы тоже нет.

Учитель скорбно приподнимал брови и заканчивал:

- Чем ты поешь, Головкер?..

Общественной работой Головкер не занимался. В театр ходить не любил. На пионерских собраниях Головкера спрашивали:

- Чем ты увлекаешься? Чему уделяешь свободное время? Может, ты что-нибудь коллекционируешь, Головкер?

- Да, - вяло отвечал Головкер.

- Что?

- Да так.

- Что именно?

- Деньги.

- Ты копишь деньги?

- Ну.

- Зачем?

- То есть как зачем? Хочу купить.

- Что?

- Так, одну вещь.

- Какую? Ответь. Коллектив тебя спрашивает.

- Зимнее пальто, - отвечал Головкер...

З акончив школу, Головкер поступил в институт. Тогда считалось, что это - единственная дорога в жизни. Конкурс почти везде был огромный. Головкер поступил осмотрительно. Подал документы туда, где конкурса фактически не было. Конкретно - в санитарно-гигиенический институт.

Там он проучился шесть лет. Причем так же, как в школе, остался незамеченным. В самодеятельности не участвовал. Провокационных вопросов лекторам не задавал. Девушек избегал. Вина не пил. К спорту был равнодушен.

Когда Головкер женился, все были поражены. Уж очень мало выделялся Головкер, чтобы стать для кого-то единственным и незаменимым. Казалось, Головкер не может быть предметом выбора. Не может стать объектом предпочтения. У Головкера совершенно не было индивидуальных качеств.

И все-таки он женился. Лиза Маковская была его абсолютной противоположностью. Она была рыжая, дерзкая и привлекательная. Она курила, сквернословила и пела в факультетском джазе. Вокруг нее постоянно толпились спортивные, хорошо одетые молодые люди.

Все ухаживали за Лизой. Замуж она так и не вышла. А на пятом курсе родила ребенка. Девочка была походка на маму. А также на заместителя комсорга по идеологии.

Короче, Лиза превратилась в женщину трудной судьбы. Высказывалась цинично и раздраженно. К двадцати пяти годам успела разочароваться в жизни.

И тут появился Головкер. Молчаливый, застенчивый. Приносил ей не цветы, а овощи и фрукты для ребенка. Влечения своего не проявлял. Мелкие домашние поручения выполнял безукоризненно.

Как-то они пили чай с мармеладом. Девочка спала за ширмой. Головкер встал. Лиза говорит:

- Интродукция затянулась. Мы должны переспать или расстаться.

- С удовольствием, - ответил Головкер, - только в другой раз. Я могу остаться в пятницу. Или в субботу.

- Нет, сегодня, - раздражительно выговорила Лиза, - я этого хочу.

- Я тоже, - просто ответил Головкер.

И затем:

- Останусь, если вы добавите мне рубль на такси. С возвратом, разумеется...

Так они стали мужем и женой. Муж был инспектором-гигиенистом в управлении столовых. Жена, отдав ребенка в детский сад, поступила на фабрику. Работала там в местной амбулатории.

А потом начались скандалы. Причем без всяких оснований. Просто Головкер был доволен жизнью, а Лиза нет.

Головкер приобрел в рассрочку цветной телевизор и шкаф. Купил в зоомагазине аквариум. Стал задумываться о кооперативе. Лиза в ответ на это говорила:

- Зачем? Что это меняет?

И дальше:

- Неужели это все? Ведь годы-то идут...

Лиза, что называется, задумывалась о жизни. Прерывая стирку или откладывая шитье, говорила:

- Ради чего все это? Ну, хорошо, съем я еще две тысячи пирожных. Изношу двенадцать пар сапог. Съезжу в Прибалтику раз десять...

Головкер не задумывался о таких серьезных вещах. Он спрашивал: "Чем тебя не устраивает Прибалтика?" Он вообще не думал. Он просто жил и все.

Лишь однажды Головкер погрузился в раздумье. Это продолжалось больше сорока минут. Затем он сказал:

- Лиза, послушай. Когда я был студентом первого курса, Дима Фогель написал эпиграмму: "У Головкера Боба попа втрое шире лба!" Ты слышишь? Я тогда обиделся, а сейчас подумал - все нормально. Попа и должна быть шире лба. Причем как раз втрое, я специально измерял...

- И ты, - спросила Лиза, - пять лет об этом думал?

- Нет, это только сегодня пришло мне в голову...

Через год Лиза его презирала. Через три года - возненавидела.

Головкер это чувствовал. Старался не раздражать ее. Вечерами смотрел телевизор. Или помогал соседу чинить "Жигули".

Спали они вместе редко. Каждый раз это была ее неожиданная причуда. Заканчивалось все слезами.

А потом началась эмиграция. Сначала это касалось только посторонних. Потом начали уезжать знакомые. Чуть позже - сослуживцы и друзья.

Евреи, что называется, подняли головы. Вполголоса беседовали между собой. Шелестели листками папиросной бумаги.

В их среде циркулировали какие-то особые документы. Распространялась какая-то внутренняя информация. У них возникли какие-то свои дела.

И тут Головкер неожиданно преобразился. Сначала он небрежно заявил:

- Давай уедем.

Потом заговорил на эту тему более серьезно. Приводил какие-то доводы. Цитировал письма какого-то Габи.

Лиза сказала:

- Я не поеду. Здесь мама. В смысле - ее могила. Здесь все самое дорогое. Здесь Эрмитаж...

- В котором ты не была лет десять.

- Да, но я могу пойти туда в ближайшую субботу... И наконец - я русская! Ты понимаешь - русская!

- С этого бы и начинала, - реагировал Головкер и обиженно замолчал. Как будто заставил жену сознаться в преступлении.

И вот Головкер уехал. Его отъезд, как это чаще всего бывает, слегка напоминал развод.

Эмиграция выявила странную особенность. А может быть, закономерность. Развестись люди почему-то не могли. Разъехаться по двум квартирам было трудно. А вот по разным странам - легче.

Поэтому в эмиграции так много одиноких. Причем как мужчин, так и женщин. В зависимости от того, кто был инициатором развода.

Три месяца Головкер жил в Италии. Затем переехал в Соединенные Штаты.

В Америке он неожиданно пришелся ко двору. На родине особенно ценились полоумные герои и беспутные таланты. В Америке - добросовестные налогоплательщики и честные трудящиеся. Головкер пошел на курсы английского языка. Научился водить машину. Работал массажистом, курьером, сторожем. Год прослужил в кар-сервисе. Ухаживал за кроликами на ферме. Подметал на специальной машине территорию аэропорта.

Сначала Головкер купил медальон на такси. Потом участок земли на реке Делавер. Еще через год - по внутренней цене - собственную квартиру на Леффертс-бульваре.

Такси он сдал в аренду. Землю перепродал. Часть денег положил на срочный вклад. На оставшиеся четырнадцать тысяч купил долю в ресторане "Али-баба".

Жил он в хорошем районе. Костюмы покупал у Блюмингдейла. Ездил в "Олдсмобиле-ридженси".

По отношению к женщинам Головкер вел себя любезно. Приглашал их в хорошие, недорогие рестораны. Дарил им галантерею и косметику. Причем событий не форсировал.

Американок Головкер уважал и стеснялся. Предпочитал соотечественниц без детей. О женитьбе не думал.

Три раза он побывал в Европе. Один раз в Израиле. Дважды в Канаде.

Он продавал дома, квартиры, земельные участки. Дела у него шли замечательно. Он был прирожденным торговым агентом. Представителем чужих интересов. То есть человеком без индивидуальности. Недаром существует такой короткий анекдот. Некто звонит торговому агенту и спрашивает: "Вы любите Брамса?"...

При этом Головкер был одновременно услужлив и наделен чувством собственного достоинства. Сочетание редкое.

С Лизой он не переписывался. Слишком уж трудно было писать из одного мира - в другой. С одной планеты - на другую.

Но он помогал ей и дочке. Сначала отправлял посылки. Впоследствии ограничивался денежными переводами.

Это было нормально. Ведь они развелись. А дочка, та вообще была приемная. Хотя ее как раз Головкер вспоминал. Например, как он зашнуровывает крошечные ботинки. Или застегивает ускользающие пуговицы на лифчике. И еще - как он легонько встряхивает девочку, поправляя рейтузы.

Лизу он не вспоминал. Она превратилась в какую-то невидимую инстанцию. Во что-то существенное, но безликое. В своего рода налоговое управление.

А потом неожиданно все изменилось. У Головкера возникла прямо-таки навязчивая идея. Причем не исподволь, а сразу. В один прекрасный день. Головкер даже помнил, когда именно это случилось. Между часом и двумя семнадцатого августа восемьдесят шестого года.

Головкер ехал на машине в офис. Только что завершилась выгодная операция. Комиссионные составили двенадцать тысяч.

Автомобиль легко скользил по гудронированному шоссе. Головкер был в светло-зеленом фланелевом костюме. В левой руке его дымилась сигарета "Кент".

И вдруг он увидел себя чужими глазами. Это бывает. А именно: глазами своей бывшей жены. Вот мчится за рулем собственного автомобиля процветающий бизнесмен Головкер. Совесть его чиста, бумажник набит деньгами. В уютной конторе его ждет миловидная секретарша. Здоровье у него великолепное. Гемоглобин? Он даже не знает, что это такое. У него все хорошо.

Гладкая от лосьона кожа. Дорогие ботинки не жмут. И вот Лиза смотрит на этого человека. И думает: какое сокровище я потеряла!

Так и появилась у Головкера навязчивая идея. А именно: он должен встретиться с женой. Она поймет и убедится. А он только спросит: "Ну, как?" - и все. И больше ни единого слова... "Ну, как?.."

Головкер представлял себе момент возвращения. Вот он прилетает. Едет в гостиницу. Берет напрокат машину. Меняет по курсу тысячу долларов. А может быть - две. Или три.

Потом звонит ей: "Лиза? Это я... Что значит - кто? Теперь узнала?.. Да, проездом. Я, откровенно говоря, довольно-таки бизи... Хотя сегодня, в общем, фри... Извини, что перехожу на английский..."

Они сидят в хорошем ресторане. Головкер заказывает. Лизе - дичь. Себе что-нибудь легкое. Немного спаржи, мусс... Коньяк? Предпочитаю "Кордон бле". Армянский? Ну, давайте...

Головкер провожает Лизу домой. Выходит из машины. Распахивает дверцу. "Ну, прощай". И затем: "Ах да, тут сувениры".

Головкер протягивает Лизе сапфировое ожерелье. "Ведь это твой камень". Затем - пластиковый мешок с голубой канадской дубленкой. Учебный компьютер для Оли. Пакет с шерстяными вещами. Две пары сапог.

Затем он мягко спрашивает:

- Могу я оставить тебе немного денег? Буквально - полторы-две тысячи. Чисто символически...

Он мягко и настойчиво протягивает ей конверт.

Она:

- Зайдешь?

- Прости, у меня завтра утром деловое свидание. Подумываю о скромной концессии. Что-нибудь типа хлопка. А может, займусь электроникой. Меня интересует рынок.

Лиза:

- Рынок? Некрасовский или Кузнечный?

Головкер улыбается:

- Я говорю о рынке сбыта...

Вечером Лиза сидит у него в гостинице. Головкер снимает трубку:

- Шампанского.

Затем:

- Ты полистай журналы, я должен сделать несколько звонков. Хэлло, мистер Беляефф! Головкер спикинг. Представитель "Дорал эдженси"...

Шампанское выпито. Лиза спрашивает:

- Мне остаться?

Он - мягко:

- Не стоит. В этой пуританской стране...

Лиза перебивает его:

- Ты меня больше не любишь?

Головкер:

- Не спрашивай меня об этом. Слишком поздно...

Вот они идут по набережной. Заходят в Эрмитаж. Разглядывают полотна итальянцев. Головкер произносит:

- Я бы купил этого зеленоватого Тинторетто. Надо спросить - может, у большевиков есть что-то для продажи?..

Мысли о встрече с женой не покидали Головкера. Это было странно. Все должно быть иначе. Первые годы человек тоскует о близких. Потом начинает медленно их забывать. И наконец остаются лишь контуры воспоминаний. Расплывчатые контуры на горизонте памяти, и все.

У Головкера все было по-другому. Сначала он не вспоминал про Лизу. Затем стал изредка подумывать о ней. И наконец стал мать бывшей жене постоянно. С волнением, которое его удивляло. Которое пугало его самого.

Причем не о любви задумывался Головкер. И не о раскаянии бывшей жены своей. Головкер думал о торжестве справедливости, логики и порядка.

Вот он идет по Невскому. Заходит в кооперативный ресторан.

Оглядывается. Пробегает глазами меню. Затем негромко произносит:

- Пошли отсюда!

И все. "Пошли отсюда". И больше ни единого слова...

Мысль о России становилась неотступной. Воображаемые картины следовали одна за другой. Целая череда эмоций представлялась Головкеру: удивление, раздражение, снисходительность. Ему четко слышались отдельные фразы на каждом этапе. Например - у фасада какого-то случайного здания:

- Пардон, что означает - "Гипровторчермет"?

Или - в случае какого-то бытового неудобства:

- Большевики меня поистине умиляют.

Или - за чтением меню:

- Цены, я так полагаю, указаны в рублях?

Или - когда речь зайдет о нынешнем правительстве:

- Надеюсь, Горбачев хотя бы циник. Идеалист у власти - это катастрофа.

Или - если разговор пойдет об Америке:

- Америка не рай. Но если это ад, то самый лучший в мире.

Или - реплика в абстрактном духе. На случай, если произойдет что-то удивительное:

- Фантастика! Непременно расскажу об этом моему дружку Филу Керри...

У него были заготовлены реплики для всевозможных обстоятельств. Выходя из приличного ресторана, Головкер скажет:

- Это уже не хамство. Однако все еще не сервис.

Выходя из плохого, заметит:

- Такого я не припомню даже в Шанхае...

Головкер вечно что-то бормотал, жестикулировал, смеялся. Путал английские и русские слова. Вдруг становился задумчивым и молчаливым. Много курил.

И вот он понял - надо ехать. Просто заказать себе визу и купить билет. Обойдется эта затея в четыре тысячи долларов. Включая стоимость билетов, гостиницу, подарки и непредвиденные расходы.

Времена сейчас относительно либеральные. Провокаций быть не должно. Деньги есть.

Оформление документов заняло три недели. Билет он заказал на четырнадцатое сентября. Ходил по магазинам, выбирал подарки.

Выяснилось, что у него совсем мало друзей и знакомых. Родители умерли. Двоюродная сестра жила в Казани. С однокурсниками Головкер не переписывался. Имена одноклассников забыл.

Оставались Лиза с дочкой. Оленьке должно было исполниться тринадцать лет. Головкер не то чтобы любил эту печальную хрупкую девочку. Он к ней привык. Тем более что она, почти единственная в мире, испытывала к нему уважение.

Когда мать ее наказывала, она просила:

- Дядя Боря, купите мне яду...

Головкер привязался к девочке. Ведь материнская и отцовская любовь - совершенно разные. У матери это прежде всего - кровное чувство. А у отца - душевное влечение. Отцы предпочитают тех детей, которые рядом. Пусть они даже и не родные. Потому-то злые отчимы встречаются гораздо реже, чем сердитые мачехи. Это отражено даже в народных сказках...

Лизе он купил пальто и сапоги. Оле - шубку из натурального меха и учебный компьютер. Плюс - рубашки, джинсы, туфли и белье. Какие-то сувениры, авторучки, радиоприемники, две пары часов. Короче, одними подарками были заполнены два чемодана.

Деньги Головкеру удалось поменять из расчета один к шести. Головкер передал какому-то Файбышевскому около семисот долларов. В Ленинграде некая Муза передаст ему четыре тысячи рублей.

Летел Головкер самолетом американской компании. Как обычно, чувствовал себя зажиточным туристом. Небрежно заказал себе порцию джина.

- Блу джине энд тоник, - пошутил Головкер, - джинсы с тоником.

Бортпроводница спросила:

- Вы из Польши?

Неужели, подумал Головкер, у меня сохранился акцент?..

В Ленинградском аэропорту ему не понравилось. Все казалось серым и однообразным. Может быть, из-за отсутствия рекламы. К тому же он прилетел сюда впервые. Так уж получилось. Тридцать два года здесь прожил, а самолетом не летал.

Головкер подумал: что я испытываю, шагнув на родную землю? И понял - ничего особенного.

Поместили его в гостинице "Октябрьская". Вскоре приехала Муза – нервная и беспокойно озирающаяся по сторонам. Оставила ему пакет с деньгами.

Головкер испытывал страх, усталость, волнение. Больше часа он провел в гостинице, а Лизе так и не звонил. Что-то его останавливало и пугало.

Слишком долго, оказывается, Головкер этого ждал. Может быть, все последние годы. Может, все, что он делал и предпринимал, было рассчитано только на Лизу? На ее внимание?

Если это так, задумался Головкер, сколько же всего проносится мимо? Живешь и не знаешь - ради чего? Ради чего зарабатываешь деньги? Ради чего обзаводишься собственностью? Ради чего переходишь на английский язык?

Головкер взглянул на часы - половина десятого. Припомнил номер телефона - четыре, шестнадцать... И дальше - сто пятьдесят шесть. Все правильно. Четыре в кубе... Он совершенно забыл математику. Но телефон запомнил - четыре, шестнадцать... А потом - те же шестнадцать в квадрате. Сто пятьдесят шесть...

Потрясенный, Головкер услышал звонок, раздавшийся в его собственной квартире. Один раз, другой, третий...

- Кто это? - спросила Лиза.

И через секунду:

- Говорите.

И тогда он глухо выговорил:

- Квартира Головкеров? Лиза, ты меня узнаешь?

- Погоди, - слышит он, - я выключу чайник.

И дальше - тишина на целую минуту. Затем какие-то простые, необязательные слова:

- Ты приехал? Я надеюсь, все легально? Как? Да ничего... В бассейн ходит. У тебя дела? Ты путешествуешь?

Головкер помолчал, затем ответил:

- Экспорт-импорт. Тебе это не интересно. Подумываю о небольшой концессии, типа хлопка...

Далее он спросил как можно небрежнее:

- Надеюсь, увидимся?

И для большей уверенности добавил:

- Я должен кое-что вам передать. Тебе и Оле.

Он хотел сказать - у меня два чемодана подарков. Но передумал.

- Завтра я работаю, - сказала Лиза, - вечером Ольга приглашена к Нахимовским. Послезавтра у нее репетиция. Ты надолго приехал? Позвони мне в четверг.

- Лиза, - проговорил он забытым жалобным тоном, - еще нет десяти. Мы столько лет не виделись. У меня два чемодана подарков. Могу я приехать? На машине?

- У нас проблемы с этим делом.

- В смысле - такси? Я же беру машину в рент...

Вот он заходит (представлял себе Головкер) к человеку из "Автопроката".

Слышит:

- Обслуживаем только иностранцев.

Головкер почти смущенно улыбается:

- Да я, знаете ли... Это самое...

- Я же говорю, - повторяет чиновник, - только для иностранцев. Вы русский язык понимаете?

- С трудом, - отвечает Головкер и переходит на английский...

Лиза говорит:

- То есть, конечно, приезжай. Хотя, ты знаешь... В общем, я ложусь довольно рано. Кстати, ты где?

- В "Октябрьской".

- Это минут сорок.

- Лиза!

- Хорошо, я жду. Но Олю я будить не собираюсь...

Тут начались обычные советские проблемы. "Автопрокат" закрылся. Такси поймать не удавалось. Затормозил какой-то частник, взял у Головкера американскую сигарету и уехал.

Приехал он в двенадцатом часу. Вернее, без четверти двенадцать.

Позвонил. Ему открыли. Бывшая жена заговорила сбивчиво и почти виновато:

- Заходи... Ты не изменился... Я, откровенно говоря, рано встаю... Да заходи же ты, садись. Поставить кофе?.. Совсем не изменился... Ты носишь шляпу?

- Фирма "Борсалино", - с отчаянием выговорил Головкер.

Затем стащил нелепую, фисташкового цвета шляпу.

- Хочешь кофе?

- Не беспокойся.

- Оля, естественно, спит. Я дико устаю на работе.

- Я скоро уйду, - ввернул Головкер.

- Я не об этом. Жить становится все труднее. Гласность, перестройка, люди возбуждены, чего-то ждут. Если Горбачева снимут, мы этого не переживем... Ты сказал - подарки? Спасибо, оставь в прихожей. Чемоданы вернуть?

- Почтой вышлешь, - неожиданно улыбнулся Головкер.

- Нет, я серьезно.

- Скажи лучше, как ты живешь? Ты замужем?

Он задал этот вопрос небрежно, с улыбкой.

- Нет. Времени нет. Хочешь кофе?

- Где ты его достаешь?

- Нигде.

- Почему же ты замуж не вышла?

- Жизнь так распорядилась. Мужиков-то достаточно, и все умирают насчет пообщаться. А замуж - это дело серьезное. Ты не женился?

- Нет.

- Ну, как там в Америке?

Головкер с радостью выговорил заранее приготовленную фразу:

- Знаешь, это прекрасно - уважать страну, в которой живешь. Не любить, а именно уважать.

Пауза.

- Может, взглянешь, что я там привез? Хотелось бы убедиться, что размеры подходящие.

- Нам все размеры подходящие, - сказала Лиза, - мы ведь безразмерные. Вообще-то спасибо. Другой бы и забыл про эти алименты.

- Это не алименты, - сказал Головкер, - это просто так. Тебе и Оле.

- Знаешь, как вас теперь называют?

- Кого?

- Да вас.

- Кого это - вас?

- Эмигрантов.

- Кто называет?

- В газетах пишут - "наши зарубежные соотечественники". А также - "лица, в силу многих причин оказавшиеся за рубежом"...

И снова пауза. Еще минута, и придется уходить. В отчаянии Головкер произносит:

- Лиза!

- Ну?

Головкер несколько секунд молчит, затем вдруг:

- Ну, хочешь потанцуем?

- Что?

- У меня радиоприемник в чемодане.

- Ты ненормальный, Оля спит...

Головкер лихорадочно думает - ну, как еще ухаживают за женщинами? Как? Подарки остались за дверью. В ресторан идти оздно. Танцевать она не соглашается.

И тут он вдруг сказал:

- Я пойду.

- Уже?.. А впрочем, скоро час. Надеюсь, ты мне позвонишь?

- Завтра у меня деловое свидание. Подумываю о небольшой концессии...

- Ты все равно звони. И спасибо за чемоданы.

Не за чемоданы обиделся Головкер, а за чемоданы с подарками. Но промолчал.

- Так я пойду, - сказал он.

- Не обижайся. Я буквально падаю с ног.

Лиза проводила его. Вышла на лестничную площадку.

- Прощай, - говорит, - мой зарубежный соотечественник. Лицо, оказавшееся за рубежом...

Головкер выходит на улицу. Сначала ему кажется, что начался дождь. Но это туман. В сгустившейся тьме расплываются желтые пятна фонарей.

Из-за угла, качнувшись, выезжает наполненный светом автобус. Неважно, куда он идет. Наверное, в центр. Куда еще могут вести дороги с окраины?

Головкер садится в автобус. Опускает монету. Сонный голос водителя произносит:

- Следующая остановка - Ропшинская, бывшая Зеленина, кольцо...

Головкер выходит. Оказывается между пустырем и нескончаемой кирпичной стеной. Вдали, почти на горизонте, темнеют дома с мерцающими желтыми и розовыми окнами.

Откуда-то доносится гулкий монотонный стук. Как будто тикают огромные штампованные часы. Пахнет водорослями и больничной уборной.

Головкер выкуривает последнюю сигарету. Около часа ловит такси.
Интеллигентного вида шофер произносит: "Двойной тариф". Головкер механически переводит его слова на английский: "Дабл такс". Почему? Лучше не спрашивать. Да и зачем теперь Головкеру советские рубли?

В дороге шофер заговаривает с ним о кооперации. Хвалит какого-то Нуйкина. Ругает какого-то Забежинского.

Головкер упорно молчит. Он думает - кажется, меня впервые приняли за иностранца.

Затем он расплачивается с водителем. Дарит ему стандартную американскую зажигалку. Тот, не поблагодарив, сует ее в карман.

Головкер машет рукой:

- Приезжайте в Америку!

- Бензина не хватит, - раздается в ответ...

На освещенном тротуаре перед гостиницей стоят две женщины в коротких юбках. Одна из них вяло приближается к Головкеру:

- Мужчина, вы приезжий? Показать вам город и его окрестности?

- Показать, - шепчет он каким-то выцветшим голосом.

И затем:

- Вот только сигареты кончились.

Женщина берет его под руку:

- Купишь в баре.

Головкер видит ее руки с длинными перламутровыми ногтями и туфли без задников. Замечает внушительных размеров крест поверх трикотажной майки с надписью "Хиропрактик Альтшуллер". Ловит на себе ее кокетливый и хмурый взгляд. Затем почти неслышно выговаривает:

- Девушка, извиняюсь, вы проститутка?

В ответ раздается:

- Пошлости говорить не обязательно. А я-то думала - культурный интурист с Европы.

- Я из Америки, - сказал Головкер.

- Тем более... Дай три рубля вот этому, жирному.

- Деньги не проблема...

Неожиданно Головкер почувствовал себя увереннее. Тем более что все это слегка напоминало западную жизнь.

Через пять минут они сидели в баре. Тускло желтели лампы, скрытые от глаз морскими раковинами из алебастра. Играла музыка, показавшаяся Головкеру старомодной. Между столиками бродили официанты, чем-то напоминавшие хасидов.

Головкеру припомнилась хасидская колония в районе Монтиселло. Этакий черно-белый пережиток старины в цветном кинематографе обычной жизни...

Они сидели в баре. Пахло карамелью, мокрой обувью и водорослями из близко расположенной уборной. Над стойкой возвышался мужчина офицерского типа. Головкер протянул ему несколько долларов и сказал:

- Джинсы с тоником.

Потом добавил со значением:

- Но без лимона.

Он выпил и почувствовал себя еще лучше.

- Как вас зовут? - спросил Головкер.

- Мамаша Люсенькой звала. А так - Людмила.

- Руслан, - находчиво представился Головкер.

Он заказал еще два джина, купил сигареты. Ему хотелось быть любезным, расточительным. Он шепнул:

- Вы типичная Лайза Минелли.

- Минелли? - переспросила женщина и довольно сильно толкнула его в бок. - Размечтался...

Людмилу тут, по-видимому, знали. Кому-то она махнула рукой. Кого-то не захотела видеть: "Извиняюсь, я пересяду". Кого-то даже угостила за его, Головкера, счет.

Но Головкеру и это понравилось. Он чувствовал себя великолепно.

Когда официант задел его подносом, Головкер сказал Людмиле:

- Это уже не хамство. Однако все еще не сервис...

Когда его нечаянно облили пивом, Головкер засмеялся:

- Такого со мной не бывало даже в Шанхае...

Когда при нем заговорили о политике, Головкер высказался так:

- Надеюсь, Горбачев хотя бы циник. Идеалист у власти - это катастрофа...

Когда его расспрашивали про Америку, в ответ звучало:

- Америка не рай. Но если это ад, то самый лучший в мире...

Раза два Головкер обронил:

- Непременно расскажу об этом моему дружку Филу Керри...

Потом Головкер с кем-то ссорился. Что-то доказывал, спорил. Кому-то отдал галстук, авторучку и часы.

Потом Головкера тошнило. Какие-то руки волокли его по лестнице. Он падал и кричал: "Я гражданин Соединенных Штатов!.."

Что было дальше, он не помнил. Проснулся в своем номере, один. Людмила исчезла. Разумеется, вместе с деньгами.

Головкер заказал билет на самолет. Принял душ. Спустился в поисках кофе.

В холле его окликнула Людмила. Она была в той же майке. Подошла к нему оглядываясь и говорит:

- Я деньги спрятала, чтобы не пропали.

- Кип ит, - сказал Головкер, - оставьте.

- Ой, - сказала Людмила, - правда?!. Главное, чтоб не было войны!..

Успокоился Головкер лишь в самолете компании "Панам". Один из пилотов был черный. Головкер ему страшно обрадовался. Негр, правда, оказался малоразговорчивым и хмурым. Зато бортпроводница попалась общительная, типичная американка...

Летом мы с женой купили дачу. Долгосрочный банковский заем нам организовал Головкер. Он держался просто и уверенно. То и дело переходил с английского на русский. И обратно.

Моя жена спросила тихо:

- Почему Рон Фини этого не делает?

- Чего?

- Не путает английские слова и русские?

Я ответил:

- Потому что Фини в совершенстве знает оба языка...

Так мы познакомились с Борей Головкером.

Месяц назад с Головкером беседовал корреспондент одного эмигрантского еженедельника. Брал у него интервью. Заинтересовался поездкой в Россию. Стал задавать бизнесмену и общественному деятелю (Головкер успел стать крупным жертвователем Литфонда) разные вопросы. В частности, такой:

- Значит, вернулись?

Головкер перестал улыбаться и твердо ответил:

- Я выбрал свободу.

Виноград

Единственный в моей жизни сексуальный шок я пережил на овощном комбинате имени Тельмана. Я был тогда студентом первого курса ЛГУ. И нас, значит, командировали в распоряжение дирекции этой самой плодоовощной базы. Или, может, овощехранилища, не помню.

Было нас в группе человек пятнадцать. Всех распределили по бригадам. Человека по три в каждую.

До этого мы получили инструкции. Представитель месткома сказал:

- Есть можете сколько угодно.

Мой однокурсник Лебедев поинтересовался:

- А выносить?

Нам пояснили:

- Выносить можно лишь то, что уже съедено...

Мы разошлись по бригадам. Я тут же получил задание. Бригадир сказал мне:

- Пойди в четвертый холодильник. Запомни фамилию - Мищук. Забери оттуда копии вчерашних накладных.

Я спросил:

- А где это - четвертый холодильник?

- За эстакадой.

- А где эстакада?

- Между пищеблоком и узкоколейкой.

Я хотел спросить: "А где узкоколейка?" - но передумал. Торопиться мне было некуда. Найду.

Выяснилось, что комбинат занимает огромную территорию. К югу он тянулся до станции Пискаревка. Северная его граница проходила вдоль безымянной реки.

Короче, я довольно быстро заблудился. Среди одинаковых кирпичных пакгаузов бродили люди. Я спрашивал у некоторых - где четвертый холодильник? Ответы звучали невнятно и рассеянно. Позднее я узнал, что на этой базе царит тотальное государственное хищение в особо крупных размерах. Крали все. Все без исключения. И потому у всех были такие отрешенные, задумчивые лица.

Фрукты уносили в карманах и за пазухой. В подвязанных снизу шароварах. В футлярах от музыкальных инструментов. Набивали ими вместительные учрежденческие портфели.

Более решительно действовали шоферы грузовиков. Порожняя машина заезжала на базу. Ее загоняли на специальную платформу и взвешивали. На обратном пути груженую машину взвешивали снова. Разницу заносили в накладные.

Что делали шоферы? Заезжали на комбинат. Взвешивались. Отгоняли машину в сторону. Доставали изпод сиденья металлический брусок килограммов на шестьдесят. Прятали его в овраге. И увозили с овощехранилища шестьдесят килограммов лишнего груза.

Но и это все были мелочи. Основное хищение происходило на бумаге. В тишине административно-хозяйственных помещений. В толще приходо-расходных книг.

Все это я узнал позднее. А пока что бродил среди каких-то некрашеных вагончиков.

День был облачный и влажный. Над горизонтом розовела широкая дымчатая полоса. На траве около пожарного стенда лежали, как ветошь, четыре беспризорные собаки.

Вдруг я услышал женский голос:

- Эй, раздолбай с Покровки! Помоги-ка!

"Раздолбай" явно относилось ко мне. Я хотел было пройти, не оглядываясь. Вечно я реагирую на самые фантастические оклики. Причем с какой-то особенной готовностью.

Тем не менее я огляделся. Увидел приоткрытую дверь сарая. Оттуда выглядывала накрашенная девица.

- Ты, ты, - я услышал.

И затем:

- Помоги достать ящики с верхнего ряда.

Я зашел в сарай. Там было душно и полутемно. В тесном проходе между нагромождениями ящиков с капустой работали женщины. Их было человек двенадцать. И все они были голые. Вернее, полуголые, что еще страшнее.

Их голубые вигоневые штаны были наполнены огромными подвижными ягодицами. Розовые лифчики с четкими швами являли напоказ овощное великолепие форм. Тем более что некоторые из женщин предпочли обвязать лифчиками свои шальные головы. Так что их плодово-ягодные украшения сверкали в душном мраке, как ночные звезды.

Я почувствовал одновременно легкость и удушье. Парение и тяжесть. Как будто плаваю в жидком свинце.

Я громко спросил: "В чем дело, товарищи?" И после этого лишился чувств.

Очнулся я на мягком ложе из гнилой капусты. Женщины поливали меня водой из консервной банки с надписью "Тресковое филе". Мне захотелось провалиться сквозь землю.То есть буквально сию же минуту, не вставая.

Женщины склонились надо мной. С полу их нагота выглядела еще более устрашающе. Розовые лямки были натянуты до звона в ушах. Голубые штаны топорщились внизу, как наволочки, полные сена. Одна из них с досадой выговорила:

- Что это за фенькин номер? Масть пошла, а деньги кончились?

- Недолго музыка играла, - подхватила вторая, - недолго фрайер танцевал.

А третья нагнулась, выпрямилась и сообщила подругам:

- Девки, гляньте, бруки-то на молнии, как ридикюль...

Тут я понял, что надо бежать. Это были явные уголовницы. Может, осужденные на пятнадцать суток за хулиганство. Или по указу от 14 декабря за спекуляцию. Не знаю.

Я медленно встал на четвереньки. Поднялся, хватаясь за дверной косяк. Сказал: "Мне что-то нехорошо", - и вышел.

Женщины высыпали из сарая. Одна кричала:

- Студент, не гони порожняк, возвращайся!

Другая:

- Оставь болтунчик Зоиньке на холодец!

Третья подавала голос:

- Уж лучше мне, с возвратом. Почтой вышлю. До востребования!

И лишь старуха в грязной белой юбке укоризненно произнесла:

- Бесстыжие вы девки, как я погляжу!

И затем, обращаясь ко мне:

- А ты не смущайся. Не будь чем кисель разливают. Будь чем кирзу раздают!..

Я шел и повторял: "О, как жить дальше? Как жить дальше?.. Нельзя быть девственником в мои годы! Где достать цианистого калия?!.."

На обратном пути я снова заблудился. Причем теперь уже окончательно.

Я миновал водонапорную башню. Спустился к берегу пруда. Оттуда вела тропинка к эстакаде. Потом я обогнул двухэтажное серое здание. Больнично-кухонные запахи неслись из его распахнутых дверей. Я спросил у какого-то парня:

- Что это?

Парень мне ответил:

- Пищеблок..

Через минуту я заметил в траве бурые рельсы узкоколейки. Прошел еще метров тридцать. И тут я увидел моих однокурсников - Зайченко с Лебедевым. Они шли в толпе работяг, предводительствуемые бригадиром. Заметив меня, начали кричать:

- Вот он! Вот он!

Бригадир вяло поинтересовался:

- Где ты пропадал?

- Искал, - говорю, - четвертый холодильник.

- Нашел?

- Пока нет.

- Тогда пошли с нами.

- А как же накладные?

- Какие накладные?

- Которые я должен был забрать у Мищука.

В этот момент бригадира остановила какая-то женщина с портфелем:

- Товарищ Мищук?

- Да, - ответил бригадир.

Я подумал - бред какой-то...

Женщина между тем вытащила из портфеля бюст Чайковского. Протянула бригадиру голубоватую ведомость:

- Распишитесь. Это за второй квартал.

Бригадир расписался, взял Чайковского за шею, и мы направились дальше.

Около высокой платформы темнел железнодорожный состав. Платформа вела к распахнутым дверям огромного склада. Около дверей прогуливался человек в зеленой кепке с наушниками. Галифе его были заправлены в узкие и блестящие яловые сапоги. Он резко повернулся к нам. Его нейлоновый плащ издал шелест газетной страницы. Бригадир спросил его:

- Ты сопровождающий?

Вместо ответа человек пробормотал, хватаясь за голову:

- Бедный я, несчастный... Бедный я, несчастный...

Бригадир довольно резко прервал его:

- Сколько всего?

- По накладным - сто девяносто четыре тонны... Вай, горе мне...

- А сколько не хватает?

Восточный человек ответил:

- Совсем немного. Четыре тонны не хватает. Вернее, десять. Самое большее - шестнадцать тонн не хватает.

Бригадир покачал головой:

- Артист ты, батя! Шестнадцать тонн глюкозы двинул! Когда же ты успел?

Гость объяснил:

- На всех станциях люди подходят. Наши советские люди. Уступи, говорят, дорогой Бала, немного винограда. А у меня сердце доброе. Бери, говорю.

- Ну да, - кивнул бригадир, - и втюхиваешь им, значит, шестнадцать тонн государственной собственности. И, как говорится, отнюдь не по безналичному расчету.

Восточный человек опять схватился за голову:

- Знаю, что рыск! Знаю, что турма! Сэрдце доброе - отказать не могу.

Затем он наклонил голову и скорбно произнес:

- Слушай, бригадир! Нарисуй мне эти шестнадцать тонн. Век не забуду. Щедро отблагодару тебя, джигит!

Бригадир неторопливо отозвался:

- Это в наших силах.

Последовал вопрос:

- Сколько?

Бригадир отвел человека в сторону. Потом они спорили из-за денег. Бригадир рубил ладонью воздух. Так, будто делал из кавказца воображаемый салат. Тот хватался за голову и бегал вдоль платформы.

Наконец бригадир вернулся и говорит:

- Этому аксакалу не хватает шестнадцать тонн. Придется их нарисовать, ребятки. Мужик пока что жмется, хотя фактически он на крючке. Шестнадцать тонн - это вилы...

Мой однокурсник Зайченко спросил:

- Что значит - нарисовать?

Бригадир ответил:

- Нарисовать - это сделать фокус.

- А что значит - вилы? - поинтересовался Лебедев.

- Вилы, - сказал бригадир, - это тюрьма.

И добавил:

- Чему только их в университете обучают?!

- Не тюрьма, - радостно поправил его грузчик с бородой, - а вышка.

И затем добавил, почти ликуя:

- У него же там государственное хищение в особо крупных размерах!

Кто-то из грузчиков вставил:

- Скромнее надо быть. Расхищай, но знай меру...

Бригадир поднял руку. Затем обратился непосредственно ко мне:

- Техника простая. Наблюдай, как действуют старшие товарищи. Что называется, бери с коммунистов пример.

Мы выстроились цепочкой. Кавказец с шумом раздвинул двери пульмановского вагона. На платформу был откинут трап.

Двое залезли в пульман. Они подавали нам сбитые из реек ящики. В них были плотно уложены темно-синие гроздья.

На складе загорелась лампочка. Появилась кладовщица тетя Зина. В руках она держала пухлую тетрадь, заломленную карандашом. Голова ее была обмотана в жару тяжелой серой шалью. Дужки очков были связаны на затылке шпагатом.

Мы шли цепочкой. Ставили ящики на весы. Сооружали из них высокий штабель. Затем кладовщица фиксировала вес и говорила: "Можно уносить".

А дальше происходило вот что. Мы брали ящики с весов. Огибали подслеповатую тетю Зину. И затем снова клали ящики на весы. И снова обходили вокруг кладовщицы. Проделав это раза три или четыре, мы уносили ящики в дальний угол склада.

Не прошло и двадцати минут, как бригадир сказал:

- Две тонны есть...

Кавказец изредка заглядывал в дверной проем. Широко улыбаясь, он наблюдал за происходящим. Затем опять прогуливался вдоль стены, напевая:

Я подару вам хризантему
И мою пэрвую любов...

Час спустя бригадир объявил:

- Кончай работу!

Мы вышли из холодильника. Бала раскрыл пачку "Казбека". Бригадир сказал ему:

- Восемь тонн нарисовано. А теперь поговорим о любви. Так сколько?

- Я же сказал - четыреста.

- Обижаешь, дорогой!

- Я сказал - четыреста.

- Ладно, - усмехнулся бригадир, - посмотрим. Там видно будет...

Затем он вдруг подошел ко мне. Посмотрел на меня и спрашивает:

- Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?

- Что такое? - не понял я.

- Сделай мне, - говорит, - такую любезность. Напомни содержание "Войны и мира". Буквально в двух словах.

Тут я вконец растерялся. Все кругом сумасшедшие. Какой-то непрекращающийся странный бред...

- В чем дело? - спрашиваю уже более резко. - Что такое?

Бригадир вдруг понизил голос:

- Доцент Мануйлов Виктор Андроникович жив еще?

- Жив, - отвечаю, - а что?

- А Макогоненко Георгий Пантелеймонович жив?

- Естественно.

- И Вялый Григорий Абрамович?

- Надеюсь.

- И профессор Серман?

- Да, а что?

- Я у него диплом защищал в шестьдесят первом году.

Я удивился:

- Вы что, университет кончали?

- Имею диплом с отличием.

- Так почему же вы здесь?

- А где же мне быть? Где же мне работать, по-твоему? В школе? Что я там буду воровать, промокашки?! Устраиваясь на работу, ты должен прежде всего задуматься: что, где и как? Что я смогу украсть? Где я смогу украсть? И как я смогу украсть?.. Ты понял? Вот и хорошо. Все будет нормально. К вечеру бабки появятся.

Я вздрогнул при слове "бабки". Бригадир пояснил;

- В смысле - деньги...

Затем он громко крикнул:

- Пошли молотить!

Мы приступили к работе. Теперь в холодильнике происходило нечто еще более странное. Грузчики шли цепочкой от вагона. Один из четверых спешил к весам. Остальные за спиной кладовщицы проносили ящики, не взвешивая.

Бала забеспокоился. Теперь он напевал другую, менее веселую песню:

Я несчастный Измаил,
На копейку бэдный,
Редко кушал, мало пил,
Оттого стал блэдный...

Его благосостояние таяло на глазах. Нарисованные восемь тонн стремительно убывали.

Прошло минут тридцать. Бригадир сказал:

- Двух тонн как не бывало.

Через полчаса объявил:

- Еще две с половиной тонны возвращены социалистическому государству...

Бала не выдержал. Он пригласил бригадира на совещание. Но бригадир сказал:

- Говори открыто, при свидетелях.

Бала с трагической гримасой произнес:

- Ты говорил шестьсот? Рэж меня, я согласен!

- Ладно, - сказал бригадир, - пошли работать. Там видно будет...

Теперь мы снова действовали, как в начале. Ставили ящики на весы. Огибали кладовщицу. Снова клали ящики на весы. Проделывали это три-четыре раза. И лишь затем уносили ящики в склад.

Кавказец наш снова повеселел. С платформы опять доносилось:

Я подару вам хризантему
И мою пэрвую любов...

Прошло еще минут сорок. Бригадир остановил работу. Кладовщица вытащила термос из-за пазухи. Мы вышли на платформу. Бала раскрыл еще одну пачку "Казбека". Бригадир говорит:

- Десять тонн нарисовали.

И затем, обращаясь к восточному человеку

- Ты сказал - шестьсот?

- Я не сказал - шестьсот. Ты сказал - шестьсот. Ты взял меня за горло...

- Неважно, - сказал бригадир, - я передумал. Теперь я говорю - восемьсот. Это тебе, батя, штраф за несговорчивость.

Глаза бригадира зло и угрожающе сузились. Восточный человек побагровел:

- Слушай, нет таких денег!

- Есть, - сказал бригадир.

И добавил:

- Пошли работать.

И мы снова проносили ящики, не взвешивая. Снова Бала мрачно напевал, гуляя вдоль платформы:

Я несчастный Измаил,
На копейку бэдный...

Затем он не выдержал и сказал бригадиру:

- Рэж меня - я согласен: плачу восемьсот!

И опять мы по три раза клали ящики на весы. Снова бегали вокруг кладовщицы. Снова Бала напевал:

Я подару вам хризантему...

И опять бригадир Мищук сказал ему:

- Я передумал, мы хотим тысячу.

И Бала хватался за голову. И шестнадцать тонн опять превращались в девять. А потом - в четырнадцать. А после этого - в две с четвертью. А потом опять наконец - в шестнадцать тонн.

И с платформы доносилось знакомое:

Я подару вам хризантему...

А еще через пять минут звучали уже другие и тоже надоевшие слова:

Я несчастный Измаил...

Начинало темнеть, когда бригадир сказал в последний раз:

- Мое окончательное слово - тысяча шестьсот. Причем сейчас, вот здесь, наличными... Отвечай, чингисхан, только сразу - годится?

Гортанно выкрикнув: "Зарэзали, убили!" - Бала решительно сел на край платформы. Далее - ухватившись за подошву ялового сапога, начал разуваться. Тесная восточная обувь сходила наподобие змеиной кожи. Бала стонал, извлекая рывками жилистые голубоватые ноги, туго обложенные денежными купюрами.

Отделив небольшую пачку сторублевок, восточный человек шепнул:

- Бери!

Затем он вновь укутал щиколотки банкнотами. Закрепил их двумя кусками розового пластыря. Опять натянул сапоги.

- Где твой "Казбек"? - нахально спросил бригадир.

Восточный человек с неожиданной готовностью достал третью пачку.

Обращаясь к бригадиру, вдруг сказал.

- Приезжай ко мне в Дзауджикау. Гостем будешь. Барана зарэжу. С девушкой хорошей тебя познакомлю...

Мищук передразнил его:

- С бараном познакомлю, девушку зарежу... Какие там девушки, батя? У меня старшая дочь - твоя ровесница...

Он подозвал тетю Зину. Дал ей сто рублей, которые она положила в термос. Затем дал каждому из нас по сотне.

Бала хотел обнять его.

- Погоди, - сказал бригадир.

Затем порылся в груде брошенной одежды. Достал оттуда бюст Чайковского.
Протянул его восточному человеку.

- Это тебе на память.

- Сталин, - благоговейно произнес восточный человек.

Он приподнял зеленую кепку с наушниками. Хотел подарить ее бригадиру.
Потом заколебался и смущенно выговорил:

- Не могу. Голова зябнет...

В результате бригадиру досталась еще одна пачка "Казбека".

Бала шагнул с платформы в темноту. Из мрака в последний раз донеслось знакомое:

Я подару вам хризантему...

- До завтра, - сказал нам бригадир...

А закончился день самым неожиданным образом. Я подъехал к дому на такси. Зашел в телефонную будку. Позвонил экстравагантной замужней женщине Регине Бриттерман и говорю:

- Поедем в "Асторию".

Регина отвечает:

- С удовольствием. Только я не могу. Я свои единственные целые колготки постирала. Лучше приходите вы ко мне с шампанским... Лялик в Рыбинске, - добавила она.

Ее пожилого тридцатилетнего мужа звали детским именем Лялик. Он был кандидатом физико-математических наук...

В тот день я стал мужчиной. Сначала вором, а потом мужчиной. По-моему, это как-то связано. Тут есть, мне кажется, над чем подумать.

А утром я занес в свой юношеский дневник изречение Хемингуэя: "Если женщина отдается радостно и без трагедий, это величайший дар судьбы. И расплатиться по этому счету можно только любовью..."

Что-то в этом роде.

Откровенно говоря, это не Хемингуэй придумал. Это было мое собственное торжествующее умозаключение. С этой фразы началось мое злосчастное писательство. Короче, за день я проделал чудодейственный маршрут: от воровства - к литературе. Не считая прелюбодеяния...

В общем, с юностью было покончено. Одинокая, нелепая, безрадостная молодость стояла у порога.

Литература продолжается

...А значит никто никого не обидел,
литература продолжается...

М. Зощенко

МНОЙ ОВЛАДЕЛО БЕСПОКОЙСТВО

На конференции я оказался случайно. Меня пригласил юморист Эмиль Дрейцер. Показательно, что сам Дрейцер участником конференции не был. То есть имела место неизбежная в русской литературе доля абсурда.

Сначала ехать не хотелось. Я вообще передвигаюсь неохотно. Летаю – тем более... Потом начались загадочные разговоры:

- Ты едешь в Калифорнию? Не едешь? Зря... Ожидается грандиозный скандал. Возможно, будут жертвы...

- Скандал? - говорю.

- Конечно! Янов выступает против Солженицына. Цветков против Максимова. Лимонов против мировой цивилизации...

В общем, закипели страсти. В обычном русском духе. Русский человек обыкновенный гвоздь вколачивает, и то с надрывом...

Кого-то пригласили. Кого-то не пригласили. Кто-то изъявил согласие. Кто-то наотрез отказался. Кто-то сначала безумно хотел, а затем передумал. И наоборот, кто-то сперва решительно отказался, а потом безумно захотел...

Все шло нормально. Поговаривали, что конференция инспирирована Москвой. Или наоборот - Пентагоном. Как водится... Я решил - поеду. Из чистого снобизма. Посмотреть на живого Лимонова.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР, ИЛИ УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

В аэропорту имени Кеннеди я заметил Перельмана. Перельман - редактор нашего лучшего журнала "Время и мы".

Перельман - человек загадочный. И журнал у него загадочный. Сами посудите. Проза ужасная. Стихи чудовищные. Литературная критика отсутствует вообще. А журнал все-таки лучший. Загадка...

Я спросил Перельмана:

- Как у вас с языком?

- Неплохо, - отчеканил Перельман и развернул американскую газету.

А я сел читать журнал "Время и мы"...

В Лос-Анджелесе нас поджидал молодой человек. Предложил сесть в машину.

Сели, поехали. Сначала ехали молча. Я молчал, потому что не знаю языка. Молчал и завидовал Перельману. А Перельман между тем затеял с юношей интеллектуальную беседу.

Перельман небрежно спрашивал:

- Лос-Анджелес из э биг сити?

- Ес, сэр, - находчиво реагировал молодой человек.

Во дает! - завидовал я Перельману.

Когда молчание становилось неловким, Перельман задавал очередной вопрос:

- Калифорния из э биг стейт?

- Ес, сэр, - не терялся юноша.

Я удивлялся компетентности Перельмана и его безупречному оксфордскому выговору.

Так мы ехали до самого отеля. Юноша затормозил, вылез из машины, распахнул дверцу.

Перед расставанием ему был задан наиболее дискуссионный вопрос:

- Америка из э биг кантри? - просил Перельман.

- Ес, сэр, - ответил юноша.

Затем окинул Перельмана тяжелым взглядом и уехал.

ДЕЛО СИНЯВСКОГО

Всем участникам конференции раздали симпатичные программки. В них был указан порядок мероприятий, сообщались адреса и телефоны. Все дни я что-то записывал на полях. И вот теперь перелистываю эти желтоватые странички...

Андрей Синявский меня почти разочаровал. Я приготовился увидеть человека нервного, язвительного, амбициозного. Синявский оказался на удивление добродушным и приветливым. Похожим на деревенского мужичка. Неловким и даже смешным.

На кафедре он заметно преображается. Говорит уверенно и спокойно. Видимо, потому, что у него мысли... Ему хорошо...

Говорят, его жена большая стерва.

В Париже рассказывают такой анекдот. Синявская покупает метлу в хозяйственной лавке. Продавец спрашивает:

- Вам завернуть или сразу полетите?..

Кажется, анекдот придумала сама Марья Васильевна. Алешковский клянется, что не он. А больше некому...

Короче, мне она понравилась. Разумеется, у нее есть что-то мужское в характере. Есть заметная готовность к отпору. Есть саркастическое остроумие.

Без этого в эмиграции не проживешь - загрызут.

Все ждали, что Андрей Донатович будет критиковать Максимова. Ожидания не подтвердились. Доклад Синявского затрагивал лишь принципиальные вопросы.

Хорошо сказал поэт Дмитрий Бобышев:

- Я жил в Ленинграде и печатался на Западе. И меня не трогали. Всем это казалось странным и непонятным. Но я-то знал, в чем дело. Знал, почему меня не трогают. Потому что за меня когда-то отсидели Даниэль и Синявский...

ДЕЗЕРТИР ЛИМОНОВ

Эдуард Лимонов спокойно заявил, что не хочет быть русским писателем. Мне кажется, это его личное дело.

Но все почему-то страшно обиделись. Почти каждый из выступавших третировал Лимонова. Употребляя, например, такие сардонические формулировки:

"...Господин, который не желает быть русским писателем..."

Так, словно Лимонов бросил вызов роду человеческому!

Вспоминается такой исторический случай. Приближался день рождения Сталина. Если не ошибаюсь, семидесятилетний юбилей. Были приглашены наиболее видные советские граждане. Писатели, ученые, артисты. В том числе - и академик Капица.

И вот дерзкий академик Капица сказал одному близкому человеку:

- Я к Сталину не пойду!

Близкий человек оказался подлецом. Дерзость Капицы получила огласку. Возмутительную фразу процитировали Сталину. Все были уверены, что Капица приговорен.

А Сталин подумал, подумал и говорит:

- Да и черт с ним!..

И даже не расстрелял академика Капицу.

Так ведь это Сталин! Может быть, и нам быть чуточку терпимее?

Как будто "русский писатель" - высочайшее моральное достижение. А человек, пренебрегший этим званием, - сатана и монстр.

В СССР около двух тысяч русских писателей. Есть среди них отчаянные проходимцы. Все они между третьей и четвертой рюмкой любят повторять:

- Я - русский писатель!

Грешным делом, и мне случалось выкрикивать нечто подобное. Между тринадцатой и четырнадцатой...

Я, например, хочу быть русским писателем. Я, собственно, только этого и добиваюсь. А Лимонов не хочет. Это, повторяю, его личное дело.

И все-таки Лимонов сказал глупость. Национальность писателя определяет язык. Язык, на котором он пишет. Иначе все страшно запутывается.

Бабель, например, какой писатель? Допустим, еврейский. Поскольку был евреем из Одессы.

Но Вениамин Каверин тоже еврей. Правда, из Харькова. И Даниил Гранин - еврей. И мерзавец Чаковский - еврей...

Допустим, в рассказах Бабеля фигурируют евреи. Но в рассказах Купера фигурируют индейцы. В рассказах Уэллса - марсиане. В рассказах Сеттона-Томпсона - орлы, лисицы и бараны... Разве Уэллс - марсианский писатель?

Лимонов, конечно, русский писатель. Плохой или хороший - это уже другой вопрос. Хочет или не хочет Лимонов быть русским - малосущественно. И рассердились на Лимонова зря.

Я думаю, это проявление советских инстинктов. Покидаешь Россию - значит, изменник. Не стоит так горячиться...

Лимонов - талантливый человек, современный русский нигилист. Эдичка Лимонова - прямой базаровский отпрыск. Порождение бескрылого, хамского, удушающего материализма.

Нечто подобное было как в России, так и на Западе. Был Арцыбашев. Был Генри Миллер. Был Луи Фердинанд Селин. Кажется, еще жив великий Уильям Берроуз...

Лимонов не превзошел Генри Миллера (А кто превзошел?).

Удивительно, что с особым жаром критиковал Лимонова - Алешковский. Оба изображают жизнь в довольно мрачных тонах. Оба не гнушаются самыми красочными выражениями. Оба - талантливые представители "черного" жанра.

В общем, налицо конфликт ужасного с еще более чудовищным...

Лимонова на конференции ругали все. А между тем роман его читают. Видимо, талант - большое дело. Потому что редко встречается. Моральная устойчивость встречается значительно чаще. Вызывая интерес, главным образом, у родни...

СТАРИК КОРЖАВИН НАС ЗАМЕТИЛ

До начала конференции меня раз сто предупреждали:

- Главное - не обижайте Коржавина!

- Почему я должен его обижать?! Я люблю стихи Коржавина, ценю егопублицистику. Мне импонирует его прямота...

- Коржавин - человек очаровательный. Но он человек резкий. Наверное, Коржавин сам вас обидит.

- Почему же именно меня?

- Потому что Коржавин всех обижает. Вы не исключение.

- Зачем же вы меня предупреждаете? Вы его предупредите...

- Если Коржавин вас обидит, вы не реагируйте. Потому что Коржавин - ранимый.

- Позвольте, но я тоже ранимый! И Лимонов ранимый. И Алешковский. Все писатели ранимые!

- Коржавин - особенно! Так что не реагируйте...

Выступление Коржавина продолжалось шесть минут. В первой же фразе Коржавин обидел трехсот участников заседания. Трехсот американских славистов. Он сказал:

- Вообще-то я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей...

Затем он произнес несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского.

Затем обидел целый город Ленинград, сказав:

- Бобышев - талантливый поэт, хоть и ленинградец...

Нам[69] тоже досталось. Коржавин произнес следующее:

- Была в старину такая газета - "Копейка". Однажды ее редактора Пастухова спросили: "Какого направления придерживается ваша газета?"

Пастухов ответил: "Кормимся, батюшка, кормимся...".

Действительно, была такая история. И рассказал ее Коржавин с подвохом. То есть наша газета, обуреваемая корыстью, преследует исключительно материальные цели... Вот что он хотел сказать.

Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал:

- Пусть Нема извинится. Пусть извинится как следует. А то я знаю Нему. Нема извиняется так: "Ты, конечно, извини. Но все же ты - говно!"

Коржавин минуту безмолвствовал. Затем нахмурился и выговорил:

- Пусть Довлатов меня извинит. Хоть он меня и разочаровал.

---

[69] Газете "Новый Американец", которую редактировал С. Довлатов.

В окопах "Континента", или малая земля Виктора Некрасова

Гражданская биография Виктора Некрасова - парадоксальна. Вурдалак Иосиф Сталин наградил его премией. Сумасброд Никита Хрущев выгонял из партии. Заурядный Брежнев выдворил из СССР.

Чем либеральнее вождь, тем Некрасову больше доставалось. Виктор Платонович часто и с юмором об этом рассказывает.

Многие считают Некрасова легкомысленным. В юности он якобы не знал про сталинские лагеря. Не догадывался о судьбе Мандельштама и Цветаевой.

Это, конечно, зря. Тем не менее, вспомните, как обстояли дела с информацией. Да еще в провинциальном Киеве.

И вообще, не слишком ли мы требовательны? Вот бы часть нашей требовательности применить к себе!

Некрасов воевал. Некрасов писал замечательные книги. В расцвете славы и благополучия - прозрел.

После этого действовал с исключительным мужеством. Всегда поддерживал Солженицына. Помогал огромному количеству людей. И это - будучи классиком советской литературы. Будучи вознесен, обласкан и увенчан...

На конференции он был представлен в двух лицах (Слово "ипостаси" - ненавижу!). Как независимый писатель и как заместитель Максимова.

Литературная судьба Некрасова тоже примечательна. Сначала он писал романы. Хорошие и прогрессивные книги. На уровне Каверина и Тендрякова.

Потом написал знаменитые "легкомысленные" очерки. С этого все и началось.

Мне очень нравится его теперешняя проза. Мне кажется, эти легкомысленные записки более органичны для Некрасова. Неотделимы от его бесконечно привлекательной личности...

В Лос-Анджелесе Некрасов представлял редакцию "Континента". Формально он является заместителем главного редактора.

В действительности же Некрасов - свадебный генерал. Фигура несколько декоративная. Наподобие английской королевы.

Возможно, он и читает рукописи. Рекомендует лучшие в печать. Красиво председательствует на совещаниях. Мирит главного редактора с обиженными писателями (Виктор Платонович так себя и называет "облезлый голубь мира").

Практическую работу выполняют Горбаневская и Бетаки. Распоряжения

отдает Максимов.

А вот отдуваться пришлось Некрасову.

"Континент" - журнал влиятельный и солидный. Более того, самый влиятельный русский журнал. Огромные его заслуги - бесспорны. Претензии к нему - естественны. Предъявлять их можно и нужно. Но - по адресу.

Некрасов приехал, чтобы увидеться с друзьями. Обнять того же Нему Коржавина. Немного выпить с Алешковским. Короче, прибыл с мирными намерениями. К скандалу не готовился.

И тут восстало молодежное крыло - Цветков, Лимонов, Боков.

- Почему "Континент" исказил стихи Цветкова?

- Почему Горбаневская обругала Лимонова?

- Почему Максимов дает интервью в собственном журнале?..

И Некрасов, мне кажется, растерялся. К этому, повторяю, он не был готов...

Я не говорю, что журнал Максимова - вне критики. Что претензии Цветкова, Лимонова, Бокова - несостоятельны. Я сам имею претензии к Максимову. Все правильно... Я только хочу спросить - при чем здесь Некрасов?

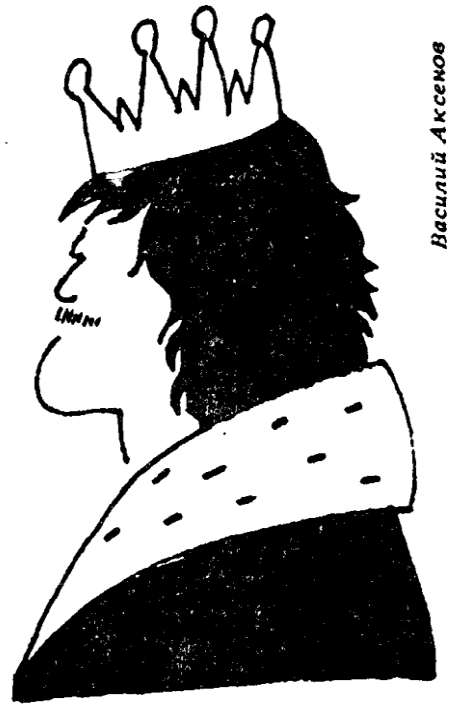
Да еще - втроем на одного. Да еще - такие молодые, напористые, бравые ребята!

Если можно так выразиться - это было неспортивно.

Максимов отсутствовал. Человек он сильный, резкий и находчивый. Сиди он за круглым столом, не знаю, чем бы кончилась дискуссия. Как минимум, большим скандалом...

После этого заседания Некрасов ходил грустный. И мне было чуточку стыдно за всех нас...

КУМИРЫ НАШЕЙ ЮНОСТИ



После конференции я давал Гладилину интервью для "Либерти". Гладилин спросил:

- Что вас особенно поразило?

Я ответил:

- Встреча с Аксеновым и Гладилиным.

Я не льстил и не притворялся.

Аксенов и Гладилин были кумирами нашей юности. Их герои были нашими сверстниками. Я сам был немного Виктором Подгурским. С тенденцией к звездным маршрутам...

Мы и жить-то старались похожим образом. Ездили в Таллинн, увлекались джазом...

Аксенов и Гладилин были нашими личными писателями. Такое ощущение не повторяется.

Потом были другие кумиры. Синявский... Наконец, Солженицын... Но это уже касалось взрослых людей. Синявский был недосягаем. Солженицын - тем более.

Аксенов и Гладилин были нашими писателями. Сейчас они переменились. Гладилина увлекают сатирические фантасмагории. Аксенов написал выдающийся роман по законам джазовой игры...

Юность неповторима... Я с удовольствием произношу эту банальность.

У теперешней молодежи вроде бы нет кумиров. Даже не знаю, хорошо это или плохо...

Нам было хорошо.

ТРУСЦОЙ ПРОТИВ ВЕТРА

Александр Янов - давно оппонент Солженицына. Солженицын раза два обронил в адрес Янова что-то пренебрежительное. Янов напечатал в американской прессе десятки критических материалов относительно Солженицына.

Янов производит чрезвычайно благоприятное впечатление. Он - учтив, элегантен, имеет слабость к белым пиджакам. У него детские ресницы и спортивная фигура.

По утрам он бегает трусцой. Даже - находясь в командировке. Даже - наутро после банкета в ресторане "Моне"...

Янов прочитал свой доклад. Он проделал это с воодушевлением. В состоянии громадного душевного подъема. Солженицын отсутствовал.

Мне трудно дать оценку соображениям Янова. Для этого я недостаточно компетентен. Тем более воздержусь от критики идей Солженицына.

Я хотел бы поделиться не мыслями, а ощущениями. Вернее – единственным ощущеним.

Реальная дискуссия между Солженицыным и Яновым - невозможна. Поскольку они говорят на разных языках.

Дело не в том, что Солженицын - русский патриот, христианин, консерватор, изгнанник.

И не в том, что Янов -- добровольно эмигрировавший еврей, агностик, либерал.

Пропасть между ними значительно шире.

Представьте себе такой диалог. Некто утверждает:

- Мне кажется, Чехов выше Довлатова!

А в ответ раздается:

--Неправда. Довлатов значительно выше. Его рост - шесть футов и четыре дюйма...

Оба правы. Хоть и говорят на разных языках... Ромашка, например, для крестьянина - сорняк, а для влюбленного - талмуд.

Солженицын - гениальный художник, взывающий к человеческому сердцу. Янов - блестящий ученый, апеллирующий к здравому смыслу... Попытайтесь вообразить Солженицына, бегущего трусцой. Да еще - после банкета в ресторане "Моне"...

СВЯЩЕННЫЙ БЕСПОРЯДОК

В ходе конференции определились три дискуссионных поля.

"Континент" и другие печатные органы.

Бывшие члены Союза писателей и несоюзная молодежь.

Новаторы и архаисты.

В каждом отдельном случае царила невероятная путаница.

Комментировать журнальную междоусобицу - бессмысленно. Слава Богу, органов достаточно. Полемистов хватает. Читатели оценят, вникнут, разберутся...

Мотивы второго дискуссионного тура - из области психологии.

Аксенов и Гладилин были знаменитыми советскими писателями. Хорошо зарабатывали. Блистали в лучах народной славы. Приехали на Запад. Тут же сбежались корреспонденты, агенты престижных издательств. Распахнулись двери университетских аудиторий...

А мы? Там изнемогали в безвестности. И тут последний хрен без соли доедаем!

Так где же справедливость?

Справедливость имеется.

Бродский опубликовал в Союзе четыре стихотворения. Высылался как тунеядец. Бедствовал невообразимо. Лично я раза три покупал ему анальгин...

А здесь? Профессор, гений, баловень фортуны!..

Соколова перевели на шесть языков. Кто его знал в Союзе?

Алешковский разрастается с невероятной быстротой.

Да и Лимонов не последний человек...

С новаторами и архаистами дело еще более запутанное. Казалось бы, если постарше, то архаист. А молодые устремляются в творческий поиск.

Отчасти так и есть. Некрасову за шестьдесят, и работает он по старинке. Боков модернист, и возраст у него для этого подходящий.

Но спрашивается, как быть с Аксеновым? Дело идет к пятидесяти – модерн крепчает.

Лимонов юн, механика же у него вполне традиционная.

Мне кажется, так и должно быть.

Должна быть в литературе кошмарная, невероятная, фантасмагорическая путаница!

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Вероятно, я должен закончить примерно так:

- В ходе конференции появилось ощущение литературной среды, чувство многообразного и противоречивого единства. Реальное представление о своих возможностях...

Так и закончу.

Прощай, Калифорния! Прощай, город ангелов, хотя ангелов я что-то не заметил.

Прощайте, старые друзья и новые знакомые.

Прощай, рыжая девушка, запретившая оглашать свое имя.

Прощай... Я чуть не сказал - прощай, литература!

Литература продолжается. И еще неизвестно, куда она тебя заведет...

Д. Быков о Довлатове[70]

Раньше я относился к Довлатову спокойно, и массовый психоз вокруг него был мне непонятен. Сегодня я отношусь к нему прохладно — более ярких эмоций он вызвать не может, — а к его неумеренным поклонникам — с отвращением. В принципе, писатель за поклонников не отвечает (или отвечает в очень малой степени), но случай Довлатова — особый. Он легитимизировал и наделил нешуточным самомнением целый класс людей, и людей чрезвычайно противных, шумных. Именно эти люди, заслышав критику в адрес своего кумира, немедленно набрасываются на критика с визгом «Это зависть!» или «А ты кто такой?». В принципе, их нервозность понятна. Они сознают, что Довлатов был и остается в статусе полуклассика, весьма шатком, и статус этот у него появился не благодаря качеству текстов, а благодаря энтузиазму определенной читательской группы, сильно выросшей за последнее время. Эта публика — суррогат советской интеллигенции, то, что от нее осталось после девяностых, когда лучшие уехали, а остальные деклассировались. В

[70] Колонка Дмитрия Быкова опубликована в журнале "Русский пионер" №57 -

двадцатые годы у нас шли сходные процессы, и самым популярным писателем был тогда Малашкин (не путать с Малышкиным), или скромный, отнюдь не бездарный бытописатель Пантелеймон Романов, или эмигрант-порнограф Каллиников (он пишется именно так, не беспокойтесь). Бабеля как раз считали настоящим порнографом, а Зощенко — грубоватым юмористом, пишущим на потребу невзыскательного пролетария и пошлого мещанина.

Довлатов, в принципе, безвреден, поскольку утоляет потребность обывателя в высоком, а удовлетворять ее обязательно надо: лучше пусть читают Асадова, чем слушают «Ласковый май» или, не дай бог, впадают в фошызм. Нужны, однако, люди, которые бы напоминали обывателю, что удовлетворение его потребностей не есть главная задача литературы; что байка — дембельская, морская или эротическая — не высший жанр прозы; что теплохладность, как мы помним, никогда не была христианской добродетелью! («О, если бы ты был холоден и горяч! Но поскольку ты тепл, то изблюю».) В прозе Довлатова нет ни стилистических, ни фабульных открытий; ни оглушительных, переворачивающих сознание трагедий, ни высокой комедии, ни безжалостной точности, ни сколько-нибудь убедительного мифа. Это среднесоветская (почему и популярная именно в постсоветской России) хроника скуки и раздражения — двух главных довлатовских эмоций, — охватывающих обывательскую душу. Ни тебе порывов и прорывов, ни отчаянного самобичевания, ни даже подлинного разрушения, серный запах которого обдает читателя с каждой страницы Венедикта Ерофеева; Довлатов и саморазрушаться по-ерофеевски не может — за каждым запоем следует очередной «Компромисс». Собственно, таких компромиссов у Довлатова чем дальше, тем больше; характерная черта второсортных, слабых талантов — их неуклонная деградация. «Зона» написана на уровне хорошего шестидесятнического реализма, и появиться в печати ей помешал только стойкий советский запрет на описание собственной пенитенциарной системы: это дозволялось только своим, в ограниченном количестве и с непременным исправлением в финале, лучше бы со свадьбой. Кстати, и «Зона» поражает тем, что нет в ней ни шаламовского вопрошания о человеческой природе, ни солженицынской точности в деталях (Солженицын так описывает голод, что редкий читатель удержится от срочного поглощения куска черного хл:) с солью): это именно байки о тюряге и казарме, которые имеют широкое хождение среди русских читателей. Довлатов внушил этому русскому читателю, что каждый рассказчик таких баек, в меру веселых, в меру страшноватых (никогда не жутких!), и сам может написать нечто подобное — никакие аховые способности для этого не нужны, трави знай. Но следующие тексты Довлатова — особенно последние, написанные уже на Западе, — поражают падением и того весьма скромного таланта, какой у него был: брайтонские байки скучнее зековских и армейских. «Иностранка» — пример неудачной попытки угодить самому невзыскательному читателю: это написано так претенциозно и при этом так плохо, что даже люди, отказывающие Довлатову в культовом статусе, читают этот текст с чувством легкого стыда за нелюбимого автора. Оба «Соло» — на ундервуде и на IBM — опять-таки демонстрируют вырождение жанра: байка уже не прикидывается новеллой, поскольку для новеллы требуется и тщательно прописанный контекст, и острая фабула, и внезапная развязка, — нет, читателю предлагается обычный похмельный треп, и какая читателю разница, что каждое слово в этом

трепе начинается с новой буквы, ни разу не повторяясь? Ну а повторялась бы она, — что, проза Довлатова стала бы музыкальнее или глубже? Его своеобразная епитимья, по выражению Андрея Арьева, — ни разу не начинать слова в одном предложении с двух одинаковых букв — могла создать у самого Довлатова ощущение творческого поиска и даже интеллектуального труда; но читателю от этого ни жарко, ни холодно.

Довлатов не напрягает ни себя, ни читателя: это идеальное отпускное чтение, и вред от него, в общем, только один. Это чтение завышает читательскую самооценку. Читатель не просто думает, что он читает литературу (тогда как он читает полную самоповторов брайтонскую беллетристику, ласкающую вечно напряженные эмигрантские нервы), — нет, он получает своеобразную легитимацию собственного бытия. Оказывается, его «обывательская лужа», как называл это Блок, может быть предметом словесности! Его запои (никогда не слишком долгие), конфликты с начальством, трусливые измены себе и жене — все это проза, страдания, жизнь, причем вполне достойная увековечения! Оказывается, похмельное страдание — тоже страдание, и родственное чувство к брату — тоже великое чувство, и ежедневная внутренняя борьба жадности и скуки, и жажда начать новую жизнь, и разрывание между женой и любовницей — все это можно воспеть, да как изящно! Беда, однако, в том, что Довлатов не только пытается дотянуть анекдот до уровня литературы, но и серьезные, трагические вещи низводит до анекдота: какую серьезную прозу можно было бы сделать из истории с перепутанными покойниками или со съездом лагерников! Но Довлатов как от огня бежит от сильных эмоций и серьезных мыслей — от того, что делает литературу литературой. Что в нем по-настоящему трогательно, так это то, что он на свой счет и не обольщался. Но он и не поднимался до высот подлинной, отчаянной ненависти к себе: все — на уровне обычного кокетства. Да, вот я такой, непутевый, часто пьяный, небритый, нехороший. Но ведь я все понимаю про себя! И лучше пить, чем делать советскую карьеру и печатать советскую лживую прозу (что Довлатов тоже постоянно пытался сделать, но, к счастью, получилось только раз — в «Юности»).

Довлатов — типичный писатель с записной книжкой, заносящий туда чужие анекдоты, понравившиеся остроты и комические положения. Но хорошему писателю, честно говоря, записная книжка не обязательна (единственное известное мне исключение — Чехов, выдумывавший так много сюжетов, что был риск их забыть; да и то — в зрелые годы он без этого подспорья обходился). То, что хорошо, — и так запомнится, а мелочами не стоит отягощать ни память, ни литературу. Довлатов же — именно коллекционер мелочей, и потому его прозу так приятно перечитывать: она забывается. Впрочем, в памяти и по втором прочтении задерживаются несколько бородатых острот и общее ощущение похмельной тоски, компенсируемое, впрочем, самоуважением. Пью, а не в партию вступаю!

Тому, кто знает контекст петербургской — ленинградской — прозы семидесятых, восхищение Довлатовым смешно. Понятно чувство Валерия Попова, сказавшего однажды: «При жизни Довлатов на меня снизу вверх смотрел, а после смерти зазнался». В одной этой фразе больше цинизма и юмора, чем во всей прозе Довлатова (и зря Попов взялся писать его биографию для

ЖЗЛ — несоответствие масштабов и ролей слишком очевидно: не Попову бы писать про Довлатова, — но Довлатов умер на самом рубеже девяностых, не успев вместе со всей советской литературой пережить страшный кризис безвременья). Тем, кто знает о фантастической изобретательности, музыкальности и свободе Житинского, кто помнит сентиментальность и жестокость Попова, отчаяние безумного Рида Грачева, страшноватые притчи Нины Катерли, да хоть бы и лаконизм Веры Пановой, у которой Довлатов служил секретарем и многому научился, — смешны разговоры о феномене Довлатова. В своем поколении он был из крепких середняков. А уж на фоне петербургского андеграунда с его ненаигранным, подлинным безумием он симпатичен именно нормальностью, — но нормальность хороша в человеческих отношениях. А в литературе она превращается в посредственность — которая и ласкает слух верного слушателя довлатовских баек. Все это уже, впрочем, довольно убедительно изложил Веллер — рассказчик куда более виртуозный, сочинивший, однако, помимо «Легенд Невского проспекта» несколько томов серьезной новеллистики и три отважных экспериментальных романа. Но Веллер требует от читателя диалога, сотворчества, усилия, — а Довлатова можно почитывать, лежа в гамаке, на верхней полке либо на пляжном полотенце. Читатель, конечно, нипочем не отдаст своего главного наслаждения — слезной радости от самоидентификации, от ненавязчивого отождествления с героями Довлатова, у которых не бывает ни подлинных трагедий, ни захватывающих радостей, ни интеллектуальных озарений. Посредственности становятся страшно агрессивны, защищая своих кумиров.

Сам Довлатов, конечно, в этом мало виноват, — повторяю, чтобы не обидеть его тень. Он свое место в литературе сознавал. Но и сознаваясь в этом — кокетничал, надеялся на опровержение: что вы, вы настоящий, вы лучший! И этот хор обывателей, по-моему, — самая горькая участь, которой может сподобиться писатель в России.

А что его Воннегут похвалил, так ведь писатель любит хвалить тех, кто слабей. С посредственностями надо дружить. Они люди опасные, когда их много.

Сергей Довлатов: комментарии современников[71]

3 сентября 1941 года родился писатель Сергей Довлатов. Его произведения давно уже разлетелись на цитаты, как в свое время рассказы и фельетоны Зощенко. К сожалению, признание и популярность на родине пришли к нему лишь после его смерти. Он умер 24 августа 1990 года, не дожив нескольких дней до 49 лет.

Никто не скажет и не напишет про его жизнь и творчество лучше, чем его современники. Мы собрали их воспоминания.

[71] eksmo.ru

Иосиф Бродский: «Зависимость реальности от стандартов, предлагаемых литературой, — явление чрезвычайно редкое. Стремление реальности навязать себя литературе — куда более распространенное. Все обходится благополучно, если писатель — просто повествователь, рассказывающий истории, случаи из жизни и т.п. Из такого повествования всегда можно выкинуть кусок, подрезать фабулу, переставить события, изменить имена героев и место действия. Если же писатель — стилист, неизбежна катастрофа: не только с его произведениями, но и житейская.

Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы; на каденции авторской речи. Они написаны как стихотворения: сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи. Это скорее пение, чем повествование, и возможность собеседника для человека с таким голосом и слухом, возможность дуэта — большая редкость. Собеседник начинает чувствовать, что у него — каша во рту, и так это на деле и оказывается. Жизнь превращается действительно в соло на ундервуде, ибо рано или поздно человек в писателе впадает в зависимость от писателя в человеке, не от сюжета, но от стиля».

Соломон Волков: «Я бы сравнил Довлатова с Высоцким, популярность которого была „от пионеров до пенсионеров“, причем в самых разных кругах общества. Последними признали Довлатова те, кого в Америке называют „академиками“, университетская профессура. Но в их кругу, конечно, популярность Довлатова не сравнится с таковой Бродского или даже Пригова, Сорокина и Пелевина. С Довлатовым происходит то, что Саша Генис обозначил так: „То, что трудно читается, легко объясняется, и наоборот“».

Анатолий Найман: «Он производил впечатление человека, которому доступно все, чего он ни пожелает: любая дружба, любая ответная влюбленность, свобода, деньги, элегантный костюм, беспредельная сила, любой талант. В действительности, однако, дела обстояли не так роскошно. Денег практически не было, влюблялись не только в него, друзьями становились, пусть на несколько дней, люди, которых он не знал по имени. Даже сила оказывалась достаточной лишь для перемещения в пространстве одного его могучего тела, и когда он помогал переезжать на новую квартиру моему брату, в ход пошли валидол и система длительных перекуров.

И талант. Он был наглядно талантлив, бесспорно талантлив, талантливо талантлив. Из всех своих возможностей проявить талант он выбрал литературу. Потому что это занятие ему в общем нравилось, потому что он литературу обожал, и еще потому, что талантливый человек, не привязавший себя ни к одному из предлагаемых ему стойл, считается „погубившим свой талант“. Он был много одаренней писателя Довлатова, хотя он мог предъявить свои достижения „по гамбургскому счету“ и в литературе.

Подозреваю, что писательство было для него еще и средством отгородиться от порядков и людей, так или иначе терзающих каждого. Он был ранимый человек и своими книгами защищался, как ширмой. В конце концов всякая ширма берет на себя функции стены, как всякая маска — лица. Он ее украшению и укреплению отдавал почти все силы, публика таким его и воспринимала, таким и

судила. Но жить ему было настолько же неуютно, как тем из нас, кто пользуется любой возможностью эту неуютность подчеркнуть и свою позицию отчужденности, то есть другую ширму, продемонстрировать».

Евгений Рейн: «Он какое-то время в эмиграции писал на русские, советские темы, а потом остановился и долго не писал вообще. И это был мучительный для него период. Потом Серёжа написал два или три небольших и не самых удачных рассказа из эмигрантской русской жизни. Советский, русский материал был исчерпан, а на американские темы он писать не хотел или не мог — в общем, перед концом он был в ужасной депрессии, сильно пил».

Александр Генис: «По-моему, Довлатов, заново открывший „средний штиль“ Ломоносова, и сам не заметил совершённой им революции. Сергей просто физически не выносил, когда пишут „пах“ вместо „пахнул“, а за „представлять из себя“ мог, как я выяснил, преследовать неделями.

Возделывая и пропалывая наш грамматический садик, Довлатов расчистил почву для всех. В „Новом американце“ все стали взыскательными читателями других и настороженными писателями для себя. Боясь позора, мы, готовые отвечать за каждое лишнее, неточное или скучное слово, писали, озираясь, как в тылу врага».

Валерий Попов: «Если ему не хватало жизни, он создавал искусственное поле напряжения, переживания. Проклятье писателя в том, что лоб себе разобьет, но историю расскажет. Осторожность тут неуместна. Кровь — и есть чернила. Он кровью писал. Своей и чужой тоже, потому что чужая кровь тоже на нем, он „вырезал“ образы из окружающих. Начиная с образа собственного отца — и его он не пожалел „ради красного словца“. В его руках все становилось ярче, интереснее, литературнее — и страшней. И с этим приходится смириться».

Лев Лосев: «Довлатов знал секрет, как писать интересно. То есть он не был авангардистом. После многих лет приглядывания к литературному авангарду я понял его главный секрет: авангардисты — это те, кто не умеет писать интересно. Чуя за собой этот недостаток и понимая, что никакими манифестами и теоретизированиями читателя, которому скучно, не заставишь поверить, что ему интересно, авангардисты прибегают к трюкам. Те, кто попроще, сдабривают свои сочинения эксгибиционизмом и прочими нарушениями налагаемых цивилизацией запретов.

Рассчитывают на общечеловеческий интерес к непристойности. Те, кто неначитанней, посмышленее, натягивают собственную прозу на каркас древнего мифа или превращают фабулу в головоломку. Расчет тут на то, что читателя увлечет распознавание знакомого мифа в незнакомой одежке, разгадывание головоломки. И этот расчет часто оправдывается. Чужое и общедоступное, не свое, не созданное литературным трудом и талантом, подсовывается читателю в качестве подлинного творения.

Это можно сравнить с тем, как если бы вас пригласили на выступление канатоходца, а циркач вместо того, чтобы крутить сальто на проволоке, разделся догола и предложил вам полюбоваться

своими приватными частями. Или вместо того, чтобы ходить по проволоке, прошелся бы по половице, но при этом показывая картинки с изображениями знаменитых канатоходцев».

Эдуард Лимонов

Справочный материал

"Это написано Смердяковым,

который предпочёл перо петле"...

Учитывая что это экспромт, сказано

неплохо, особенно для blurb`a.

Но пусть у нас лучше будет мильон лимоновых,

чем десять тысяч прочих, оккупирующих

телефонные книги союзов писателей.

Бродский о Лимонове

Настоящее имя - Эдуард Вениаминович Савенко. Родился в Дзержинске в семье комиссара НКВД. В 1967 г. переехал в Москву, где примкнул к литературной группе "Конкрет"; в 1968 г. опубликовал в самиздате сборник стихов "Кропоткин и другие стихотворения". В 1974 г. эмигрировал, жил в Нью-Йорке, работал грузчиком, лакеем, с 1979 г. - профессиональный писатель. В 1979 г. Лимонов опубликовал свой первый скандальный роман "Это я - Эдичка", а также сборник стихотворений "Русское". В 1980 г. , окончательно испортив отношения со всеми кругами русской эмиграции, покинул Нью-Йорк; с 1983 г. жил в Париже, в 1987 г. получил французское гражданство, в 1992 г. вернулся в Россию, где организовал Национал-

большевистскую партию (НБП), объединившую часть левых радикалов. Произведения Лимонова - нарочитый эпатаж публики, "пощечина общественному вкусу" (как говорил Маяковский). Среди его романов выделяются "Палач" (1986) и "Убийство часового" (1993). В настоящее время статьи и рассказы Лимонова публикуются в издаваемой им газете НБП "Лимонка".

Двойник

В почтовом ящике -- пакет. Адрес отправителя -- религиозной организации -американский. Вынул пакет, верчу в руках, не могу понять, какое отношение я имею к ним и откуда они взяли мой адрес. Открыв пакет, обнаружил там книгу. Карманная, на русском языке Библия. Совсем уже решив, что распространители слова Господня добрались до меня случайно -- получили мою фамилию и адрес от шутника-приятеля, я все же новенькую Библию перелистнул. И, к удивлению своему, обнаружил на титульном листе следующее посвящение, подписанное именем Джон: "Дорогому Эдварду, в память о нашей встрече, с надеждой на будущее, от его близнеца".

После этого я тотчас его вспомнил. Мой двойник. Преподобный Джон. Обещал обратить меня в свою веру и сдерживает обещание. Не забыл. Упрямый отец Джон.

Приятель организовал нашу встречу в Нью-Йорке. "Я хочу познакомить тебя с одним любопытным человеком, -- сказал Стив и посмотрел на меня вопросительно. И, очевидно, предугадывая мою реакцию, тотчас добавил: -- Не бойся, это не будет скучно. Поверь. Приходи ко мне в воскресенье, и он тоже придет. Потом пойдем куда-нибудь пообедаем".

Я не люблю людей. То есть я не люблю человека массового, и массовый мужчина еще ужаснее массовой женщины. Массовую женщину хотя бы можно выебать и нащупать что-то общее. Но, во-первых, я верю вкусу Стива, он меня неплохо знает и знает, как скучны мне нормальные люди, раз приглашает -- значит, что-нибудь острое, приперченная личность для меня заготовлена. Во-вторых, даже если и неинтересным окажется экземпляр, я Стиву кое-чем обязан, в частности, публикацией одной из моих первых книг, которой он был и редактором. В случае крайней необходимости пострадаю пару часов -- я их должен Стиву.

В воскресенье в августе я пришел в квартиру Стива на Сент-Марк плейс, разумеется, вовремя. Хотя и старался прийти попозже, но пришел первым. Внизу бесконечно, пулеметными очередями стучал дверной автоматический замок. Очевидно, кто-то из жильцов уехал на уик-энд из нью-йоркской августовской бани, каким-то образом навечно оставив кнопку "дверь" прижатой, или нечто испортилось в несложном механизме открывания двери. Стива я застал едва вставшим из постели.

Мы заговорили о чем-то, но ни я не спросил его о другом госте, ни он не старался сообщить мне, кто гость такой и чем он занимается. Наконец раздался звонок в дверь, и Став, сказав: "Вот и Джон", -- посмотрел на меня с любопытством.

Вошел человек в таких же, как у меня, очках, одного со мной, пожалуй, роста. Мы представились, он сел за стол. Мы пили вино, и Джон тоже получил бокал. Стив и Джон обменялись несколькими фразами. Стив все время смотрел на меня, чего-то ожидая. Наконец он спросил меня: "Ты не находишь, Эдвард, что вы с Джоном очень похожи?"

Я всмотрелся в человека внимательнее. Нет, он был чужой человек, лицо его мне было незнакомо.

Лишь с большим трудом, напрягшись, я обнаружил в его лице черты моего лица. Нос, губы были те же, строение скул, волосы. Сходство, если оно было, усугублялось, должно быть, одинаковым стилем прически -- короткие волосы его были зачесаны назад небольшим коком над лбом, обычная прическа эпохи Элвиса Пресли, конца 50-х годов. У меня такая же. И на нем были очки того же стиля, что и мои -- в темной пластиковой оправе.

Возможно, мы были одинаковы, но я видел нас разными. Одинаковы физически. Но я его не узнавал до того, как Стив указал мне, что это мой двойник. Дело в том, что я себя представлял другим. С теми же чертами лица, но иным. Я хотел видеть себя иным и видел.

Лицо его мне не понравилось. Если бы я был женщиной, я бы не смог влюбиться в его лицо. В лице его было что-то нехорошее и даже неинтересное. Проглядывало сквозь черты. Это наблюдение смутило меня. Неужели и у меня такое лицо? Прежде всего он был здоров. Здоровое лицо.

И ничего, на мой взгляд, изобличающего духовность, в нем не присутствовало. Никаких выделяющихся черт. Глаза были почти незаметны. Были заметны очки.

И даже более того -- его лицо было лицом неинтересного "square" человека. Такое лицо могло принадлежать бизнесмену, и даже бизнесмену без особенной фантазии, владельцу, может быть, магазина готового платья, не бутик, а ширпотребной уродливой одежды. Еще оно могло принадлежать инженеру, скажем, инженеру автомобилестроительной фирмы в Детройте. Судя по лицу, Джон был человеком не очень высокого полета.

Только чуть позже, уже в ресторане, куда мы вышли пообедать, до меня дошло наконец полностью, что Джоново лицо не только лицо Джона, но и копия лица писателя Эдуарда Лимонова. Меня это несложное открытие очень поразило. Сидя за столом против своего двойника, потягивая красное вино, я с ужасом вдруг вынужден был тут же пересматривать мои собственные представления о себе и о том, каким меня видят люди. "Неужели я такой же несимпатичный и даже уродливый?! -- думал я. -- Эти тонкие бескровные губы, вздернутый нос, невидный подбородок и предательская складка под подбородком -- следствие унаследованного от матери строения... Да все это не только не эталон мужской красоты, но скорее стертый, несвежий эталон мужской посредственности". Я проходил с моим лицом тридцать семь лет по земле и только сейчас открыл, какая же я невыразительная тусклятина.

За вторым блюдом меня бросило в жар, я поминутно вытирал салфеткою со лба холодный пот, хотя хорошо прокондиционированное помещение ресторана не пропускало августовскую липкость к обеду. "Урод! Тусклятина!" -- думал я, поглядывая на Джона. Непривлекательнее всего наше лицо выглядело в полупрофиль.

Рядом сидел Стив, хотя и некрасивый, маленького роста человечек, но смахивает на Жана Жэнэ. Его лицо очень некрасиво, но интересно. Я бы сменялся лицами со Стивом.

По мере нашего продвижения к десерту настроение мое все более и более портилось. Этому способствовало еще и то обстоятельство, что Джон, узнав, что я равнодушен к христианству, стал вежливо направлять меня на путь истины, говорить мне о сотворении мира, опровергать дарвинизм, который я и не собирался защищать, и все такое прочее. Нет для меня людей

неприятнее, чем "Джезус фрикс", как я их зову. На меня пахнуло ханжеством и чистотой христианских публичных библиотек, куда я порой захаживал скоротать время и погреться в тяжелые для меня первые мои нью-йоркские зимы. Когда же я в конце концов недовольно-скептически огрызнулся на его вежливую христианскую лекцию, он заткнулся, сказав мне, что пришлет мне Библию, и в ответ на мое "спасибо, не нужно" терпеливо объяснил, что, если даже я буду заглядывать в Библию только раз в год, это уже будет хорошо и благо.

Я пожал плечами. Мне вся эта история начинала надоедать. Понравилось мне на секунду только то, что отец Джон, отклонив наши со Стивом притязания, заплатил за обед. Пастырь, оказывается, имел и светлые стороны в его пастырском характере.

Выяснилось, что проповедник он профессиональный, что он читает там у себя проповеди в Вашингтоне Д.С., и даже выступает с проповедями по радио. "А почему нет? -- подумал я, -- Спокойный. сытый отец Джон. Неужели я тоже выгляжу спокойным и сытым -- такой неспокойный и не очень сытый писатель Лимонов?"

Я подумал еще, что, интересно, видна ли у меня на лице моя тайная страстишка, мой грешок, видно ли, что я начинающий садист, а? Тут читателю следует объяснить, что не следует моментально представлять себе писателя Лимонова с клещами в руках, в обагренном кровью переднике, терзающего жертв в подвале Марэ или в нью-йоркском мрачном апартменте. Я имею в виду роль в сексуальной игре, и только, читатель. Доминирующее положение в постели. Дюжина шлепков плеткой там и тут, маска, пара кожаных наручников, только и всего. Я, глядя на отца Джона, пришел к выводу, что ничто в его-моем-нашем лице не выдает моей новой принадлежности к славному ордену садистов. Ничто. "Мы" -обычный человек. Может быть, скорее отец семейства. "Мы" не похож на ужаснолицых, красивых и мрачных типчиков, терзающих свои жертвы на страницах книг художника Крепакса, скажем, на страницах той же "Истории оф О". Мы не были сэрами Стэфанами, о нет!

Я быстро обнаружил, что я запутался. Хотя мы имели одно лицо с преподобным Джоном, это далеко еще не значило, что у нас одни и те же грешки и что отец, задравши свою рясу, упражняется в искусстве плеткохлестания жертв.

Мы вернулись в апартмент Стива и, захватив фотоаппарат преподобного Джона, спустились опять на Сент-Марк плейс, где Стив стал нас неумело фотографировать. Отец Джон, оказывается, прочел одну мою книгу и интересовался мной, хотел иметь фотографии на память. Занимались они этим делом довольно долго, потому что Стив фотографировать совсем не умел. Отец Джон наводил на меня фотоаппарат, потом возвращался и становился со мною рядом, а Стив нажимал кнопку. Мы снялись в фас, в профиль и еще в дюжине разнообразных поз, подчеркивающих наше сходство.

По окончании фотосеанса Стив откланялся, к нему должен был прийти любовник, и мы с отцом Джоном были предоставлены самим себе. Я спросил его, в какую сторону он направляется, и он ответил, что дел у него никаких сегодня нет и что он хотел бы просто прогуляться по Гринвич Вилледж. У меня также не было никаких дел, но оставаться долго с ним мне вовсе не хотелось, стало неинтересно. Я сказал, что пройдусь с ним немного, а потом поеду домой.

Мы зашагали, разговаривая о пустяках. Он сказал, что, судя по моей книге, я очень хорошо знаю Нью-Йорк, наверное, мельчайшие улочки знаю, не хочу ли я ему что-либо необыкновенное показать. Я сказал, что я, да, очевидно, знаю Нью-Йорк лучше его, но я потерял интерес к городу,

как теряешь интерес к хорошей, но несколько раз прочитанной книге, потому мне не хватает вдохновения для того, чтобы показать ему необыкновенное.

Мы плелись. Он заговорил о том, что пишет стихи. "Но у меня уходит очень много времени на шлифовку каждого стихотворения, -- сообщил отец Джон. -- В отличие от вас я пишу очень медленно, и к моим 37, -- ему было 38, -- написал едва ли несколько дюжин стихотворений". Я утешил его, напомнив ему, что Кавафи написал за целую жизнь всего лишь маленький томик стихов, однако считается одним из крупнейших поэтов нового времени. Отец Джон с мягкой улыбкой сказал, что он, увы, понимает, что он не Кавафи.

Я продолжал идти с ним, наверное, от лени. Можно было откланяться у первой попавшейся станции сабвея, но я продолжал идти с ним в направлении аптауна по липкому городу. Чтобы было удобнее, я даже снял свою сержантскую, с лычками аэрфорс рубашку, и шел рядом с преподобным отцом по пояс голый. Вот тут-то он и заметил, что у меня "красивое тело".

Замечание его заставило меня насторожиться. Как-то он это по-особенному сказал, не как преподобный Джон. Был некий оттенок светскости в его замечании. И еще чего-то... Стив был гомосексуалист. Стив был мой приятель и приятель отца Джона. Ничего удивительного в том, что и Джон мог оказаться гомосексуалистом, я не видел. Но преподобный Джон?! Мне стало интереснее. И я его не бросил, как собирался, у Пенсильвания стейшан сабвея, и не поехал на Коломбус авеню, где я тогда жил у приятелей, но продолжал идти с ним, и беседовали мы о стихосложении... Отец Джон что-то говорил о пеонах, и я, желая поддержать разговор, прочел ему пару строк, написанных мною, как мне всегда казалось, гекзаметром. "Нет, -- возразил отец Джон. -- Это одиннадцатисложник.."

Я поглядывал время от времени на него, размышляя, гомосексуалист ли пастырь Господен или нет? Писательское профессиональное любопытство, и только. Я решил во что бы то ни стало расколоть его на признание, и уже на 59-й улице, вблизи Коломбус-Серкл, продолжая поддерживать в нем уверенность, что я вот-вот уйду, я вдруг предложил ему выпить. "Пива, -- сказал я, -- выпьем пива".

Проживший всю свою жизнь в бедности, я всегда предпочитаю дешевые развлечения. Я хотел купить пива в супермаркете и сесть, потрепаться на скамейке среди ночного города, попивая пивко. Но мы не нашли открытого магазина вблизи, и отец Джон предложил пойти в бар, у него есть деньги, сказал он, он заплатит. ОК. В конце концов мы уселись в одном из открытых кафе на Бродвее, напротив Линкольн-центра, из тех, что за последние несколько лет настроили на Аппер-Вест-Сайде предприимчивые гомосексуалисты, толпами переселяющиеся нынче из сверхперенаселенного Гринвич Вилледж в район Коломбус авеню.

Парень-официант, симпатичное темнобровое шимпанзе, подкатившее к нам на роликах, тотчас объявил нас братьями, и мы с Джоном, поощрительно улыбнувшись друг другу, с ним согласились. Так мы стали братьями. Братья заказали по Гиннессу.

На третьем Гиннессе, в первом часу ночи, разговор все еще крутился вокруг поэзии и литературы, в момент, когда патер как раз сообщал мне о своем последнем литературном успехе, -- несколько его стихотворений появились в неплохом литературном журнале, я вдруг, поглядев на него в упор, сказал: "Отец Джон, простите меня за, может быть, не совсем приличный вопрос, если вы не хотите, можете на него не отвечать, но вы гэй? *"

Пастырь Господен посмотрел на меня без смущения, но со спокойной печалью и просто ответил: "Да. Но только, пожалуйста, прошу вас, не говорите об этом никому, хорошо? Я не стыжусь того, что я гэй, но мои коллеги имеют иное, чем у меня, более узкое представление о любви, и мне не хотелось бы, чтобы они узнали мой секрет. Это будет стоить мне моей карьеры -- мне придется отказаться от пастырства и проповедничества, а я, как вам ни покажется это странным, действительно глубоко религиозен".

Отец Джон помолчал немного. Молчал и я, что я мог сказать. Он продолжал: "Я не просто гэй, дорогой мой друг, но педофил... То есть я сплю с мальчиками, и только с мальчиками. Ну вы знаете, очевидно, есть даже специальный термин -вульгарный, нужно сказать, -- "куриная дырочка" -- "чикэн хоул". Вот с ними". -- Он опять замолчал. Мы тянули Гиннесс. Посочувствовать ему я мог, но звучало бы это глупо. Я ждал, когда он продолжит признание. Я чувствовал, что ему этот разговор со мной был очень-очень нужен, может быть, надеясь на такой разговор, он и пришел к Стиву. В конце концов я был автор романа-признания, герой которого имеет среди прочего и гомосексуальный опыт. Отец Джон заговорил опять. "Все это со стороны, очевидно, кажется очень грязным.. Невинные дети, соблазненные чудовищем. На деле, если вы решитесь поверить мне, это не совсем так... -- Джон проглотил слюну. -- У меня за мою жизнь было, если я не ошибаюсь, около четырехсот малолетних любовников. Из них, -- он задумался, -я соблазнил, действительно соблазнил, может быть, десятерых.. Все остальные рассудительно отдались мне за деньги сами. Продались. Вы думаете, Эдвард, все они гэй? Нет, и половина из них не стала гомосексуалистами, когда они выросли, Я переписываюсь со многими до сих пор. У некоторых, поверите ли, уже есть жены, дети, которые так никогда и не узнают эту сторону жизни их мужа и отца. Общество жестоко охраняет такие секреты, по сути дела, не видя ничего предосудительного в самом действии. Ужасной же сделана огласка".

Отец Джон помолчал и добавил: "Я до сих пор посылаю моим мальчикам подарки и иной раз деньги. Даже тем, кого не видел годами".

Он начал меня удивлять. Эта своеобразная смесь религиозной христианской благотворительности с римским развратом. Мальчики-подростки, которых он когда-то ебал, выросли и стали взрослыми, скрывающими от общества каждый свою стыдную тайну, и он посылает им подарки, деньги, которые, может быть, идут в семейный бюджет. Бред.

"Часто это бедные дети, -- сказал отец Джон. -- Я покажу вам Виктора", -внезапно заулыбался он и торопливо полез в карман. Вынул бумажник, а из него поляроидную фотографию темноволосого широкоротого подростка, протянул мне.

"Красивый мальчик!" -- похвалил писатель Лимонов.

"Очень, -- нежно согласился Джон. -- Его отец рабочий. Они так никогда и не узнали -- его семья, его мать и отец, в каких отношениях я с ним состоял. Его мать до сих пор пишет мне благодарные письма. "Спасибо вам, преподобный Джон, за все то, что вы сделали для нашего мальчика". -- Джон виновато посмотрел на меня. -- Я действительно подобрал его на улице и сделал человеком... Я до прошлого года платил за его обучение в университете, -- Джон вздохнул. -- Теперь у него есть невеста. К сожалению, он меня никогда не любил, он просто очень любил получать подарки, особенно красивую одежду... Меня он стыдился".

"Да, -- думаю я. -- Мальчик Виктор, очевидно, жуткая сволочь". Симпатии мои перекочевывают на сторону Джона. Я всегда на стороне любящих. Те, кого любят, обычно ужасный материал,

красивые человекообразные подлецы. Тем более что Джон -- почти я, мой близнец, мой двойник, у него моя оболочка. Мной овладевает презрительная злость к красивому малолетнему эксплуататору, фотографию которого я все еще держу в руках. "Красивая бездарь! -- думаю я зло. -- Мы с Джоном некрасивые, но великодушные", -- думаю я.

Джон продолжает восхищаться Виктором, нежно говорит о его теле, а для меня мир неотвратимо переворачивается, и переворачиваются все мои представления. Джон из грязного педофила, соблазнителя и развратителя целомудренных детей, каким его в случае "разоблачения" представит любой судья, любая газета, вдруг становится влюбленным мечтателем, нежным и живым человеком, любящим красивое и молодое. Виктор же, его темноволосый ангел, предстает передо мной бездушным вымогателем подарков и денег, стяжателем и подлецом. Да-да, подлецом, потому что настоящий человек, будь он и десяти лет от роду, может ебаться с кем хочет, но не продаст свое тело. Сука Виктор...

Я солидаризируюсь с моим двойником. Он мне теперь нравится. Во всяком случае у него есть трагедия, есть тайна, есть источник страдания.

"Я веду двойную жизнь, -- говорит он со вздохом. -- И ужасно устаю от этого. На радио я выступаю под псевдонимом, -- добавляет он. -- Не дай Бог кто-нибудь узнает меня, какой будет скандал! Кроме того, я с тех пор, как переехал в Вашингтон, не позволяю себе любовных связей в этом городе. Для этого я приезжаю в Нью-Йорк. Здесь я анонимен".

"В отличие от вас, Эдвард, -- вдруг говорит он мне лукаво, -- я уже не считаю себя привлекательным, потому я всегда плачу за любовь. Я покупаю себе любовь".

"С чего он взял, что я считаю себя привлекательным", -- думаю я. "Я тоже плачу за любовь, -- говорю я, улыбаясь. -- Мои партнеры идут со мною в постель в большинстве случаев потому, что я писатель. Им интересно. Я плачу им психологическими, невидимыми, но очень высоко ценящимися в человеческом обществе валютными знаками. Они хотят быть привилегированными, спать с писателем... Если бы я был просто Эдвард, отец Джон, а не Эдвард-писатель, моя постель была бы куда более пустынна".

Он понимает. Он улыбается, и мы вздыхаем. У нас одинаковые лица. У него чуть-чуть иной голос, чем у меня, тембр моего голоса выше. Мы еще раз оглядываем друг друга, уже не скрываясь.

"У вас лучше фигура, чем у меня, -- больше мышцы, и совсем нет живота", -замечает он с некоторой завистью.

"Да, -- соглашаюсь я. -- Но лицо, это лицо". "Да. Увы, -- подтверждает отец Джон. -- И очки. А вы пробовали носить контактные линзы?"

"Угу, -- говорю я, -- пробовал. Но я много пью -- профессиональная болезнь литераторов, и постоянно спьяну теряю линзы. Дорогое удовольствие".

"И я пробовал, -- сообщает он. -- Но лицо без очков становится отвратительно плоским". Лицо. Наше лицо.

Мы пьем свой Гиннесс. Уже два часа ночи, и кафе на открытом воздухе пустеет. Официанты начинают переворачивать стулья и водружать их на столы. Отец Джон расплачивается.

"Хотите пойти со мной?" -- вдруг спрашивает он. Святой отец уже немного подвыпил, но это не неприятно, с него только слетели остатки некоей пастырской сдержанности или, может быть, робости. "Хотите пойти со мной в "Сеннику? -продолжает он. И поясняет: -- Это бар на Восьмой авеню, то место, где я нахожу своих мальчиков. Я щедр, они меня там все помнят и знают, идут со мною охотно... Позже мы могли бы пойти ко мне в отель..."

В голосе его прозвучала неуверенная интимность. "Пойти в мой отель" могло означать что угодно. Точнее -- два варианта. Взять мальчика или двух мальчиков и пойти в его отель, сделать с ними любовь... Это один вариант. И второй вариант: я и он идем в его отель и там занимаемся любовью... Но второй вариант маловероятен. Он -- педофил, я -- взрослый мужчина с полуседыми волосами, не могу быть ему интересен. Разве что из хулиганства? Глядя в его лицо, как в зеркало... Сделать любовь с человеком с моим же лицом?

Я не пошел. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Ночью мне приснился красивый Виктор, который бил отца Джона по голове бейсбольной палкой. Отец Джон был голый, и член у него был мой.

Мы — национальный герой

в тексте сохранена пунктуация и орфография автора;

машинописную рукопись для оцифровки предоставил Александр Шаталов

1. Текст

Русский народный поэт и национальный герой

Эдуард Лимонов

и его жена-поэтесса и национальная женщина

Елена Щапова

по личному приглашению президента французской республики сегодня утром прибыли в Париж.

В 18 часов 30 минут по парижскому времени в Парижском муниципалитете состоялся прием в честь русского национального героя Эдуарда Лимонова и его жены Елены, воплощающей в себе национальный тип русской женщины.

На приеме присутствовали видные дипломаты, промышленники, звезды артистического мира, известные современные французские писатели.

Шампанское и улыбки — вот стиль этого праздника!

Господин мэр Парижа от имени французского народа вручил русскому национальному герою и его жене почетные французские паспорта и дипломы «Почетный гражданин Франции».

Эти русские, эта пара покорила нас всех. Россия вновь удивила нас. Мы готовы жить в мире и дружбе с Россией именно потому, что там живут такие парни как этот Лимонофф. Русские женщины всегда славились своей красотой. Елена превзошла все наши самые смелые ожидания!

Лимонов сказал:

«Простые люди представляют статику жизни. Я же — ее динамику».

Поэт Лимонов взял лодку и катается в ней по Сене. Мутная Сена передает Лимонову приветы от всех других поэтов — от загадочного Бодлера от загадочного Лотреамона и других. Поэт Лимонов снял шляпу — Ах Сена, Сена — говорит он и не думает что Ах Волга, Волга. Волги он в России не видел. У него есть только воспоминания о нескольких семьях, о скучности и одновременно мистичности извечных русских квартир, где все едва оживилось техникой. «Старого французского винца б, выпить, я вполне, еще не слаб, старого французского бордо, от него приятно и бодро, старого французского вина, от него…» и так далее — думает Лимонов разглядывая полоски воды.

Поэт Лимонов зашел в квартиру в Париже и страдает ностальгией. Эх русских рож сюда б! — говорит он чуть ли не вслух. Но русских рож нет.

Каким я кажусь французам со стороны? — думает он. Провинциальным? Смешным? — неизвестно.

Поэт Лимонов еще не вошел в западную жизнь. Он в стороне.

Лимонов как национальный герой гуляет в парке. Его внимание поглощено растительностью парка. Есть очень много приличных людей тоже гуляющих в парке. Тут может раздражать мелочность приличных людей, их разговоры о службе. Лимонова останавливает человек, он представляется — Антониони! — не хотите ли сниматься в моих фильмах? О да! — говорит Лимонов — мне ваше предложение нравится.

И Лимонов снимается в фильме Антониони «Мы из Москвы» и становится еще более известным и национальным.

Что характерно, так это следующее:

Лимонов можно сказать тип русского человека и по внешности и по внутренности, и гениальный режиссер Антониони недаром обратил на него внимание. Так вот оказалось, что не Елена-

красавица, а Лимонов с маленькими глазками и надбровными дугами стал первым сниматься в фильмах. Тут он ее немного опередил.

Лимонов однажды был приглашен Сальватором Дали в ресторан. Дали сидел привязав кончики усов к листьям и веткам двух фикусов. Тонкие шелковые нити тянулись от Дали в стороны. Лимоновскую спину заливало солнце. Вдвоем они представляли прелестную светлую группку. А что они ели до сих пор остается загадкой. А говорить они ничего не говорили, но именно после этого Дали радостно проиллюстрировал поэмы Лимонова «Золотой век» и «Русское». А Лимонов в свою очередь сшил Сальватору необыкновенные панталоны из кусочков ткани.

Весной как-то в прошлом Лимонов пересекал Бискайский залив на грузовом пароходе «Барон Унгерн». И в трюме он обнаружил белогвардейские русские припасы. Бей их! — сказал Лимонов и втайне от команды ночью выбросил припасы за борт.

Таким образом Ленин и революция победили интервентов и белогвардейцев.

А ведь Лимонов мог бы поддержать и противоположную сторону.

Лимонов в сопровождении всех актеров и актрис мира любезно согласился устроиться на работу актером мирового масштаба. Его успешно просмотрели страны третьего вира и даже твердыня Китая согласилась поглядеть на него своим желтым глазком. О милая твердыня милого Китая! — сказал Лимонов — я жму твою желтую руку. Ты внесла вклад. Миру мир! — закричали актеры и актрисы.

Лимонов снимался в фильме, вокруг нищих и хиппи он кружил. Я освою окружение! — говорил он и все время выпивал. Наконец он напился как свинья и девочки и мальчики торжествующе его куда-то унесли. После этого он пропал и появился только через несколько месяцев в другом костюме.

Наш Лимонов и их Анри Мишо стояли на куче мусора. Этот мусор состоит: говорили они и далее перечисляли все 34.642 названия из которых состоит мусор в сильно развитой капиталистической стране.

Пока Лимонов жил в России он успел залезть во все уголки, сараи, дома, постройки, трубы, чердаки и подвалы. Он особенно хорошо знал устройство и трещинки стен, когда они под самым носом и был специалист по микро-местности. Поэтому когда он увидел французские горы и итальянские горы они не произвели на него впечатления. Гораздо лучше — черное железо гаечного ключа — сказал он и глубоко задумался.

Летом как-то в жаркий день Лимонов шел по улице Фероньер и нес портрет философа Григория Саввича Сковороды замотаный в старую оренбургскую шаль. К нему подошли два туриста-англичанина и спросили что он несет. — Я — Эдуард и несу портрет. Туристы очень удивились а Лимонов подумал — В такую жару Григорий лежит в платке, мог ли он представить что о нем будут справляться два англичанина. И тут Лимонову представилась тягучая странная Украина — он чуть не заплакал. Но подумал он — тоска по родине — удел простых людей. Человеческие отношения существуют везде и мне остается только влезать в них. С этим решением Лимонов пошел дальше, настороженно прислушиваясь к звукам французской столицы.

Приехав в Марсель уже оттуда Лимонов и Елена поехали в Ниццу. О этот юг, о эта Ницца! О как их блеск меня тревожит — сказал Лимонов опустившись к самой воде и погрузив руки в Средиземное море.

Стоя у Эйфелевой башни вместе с Еленой, которая крутилась, напевала и хотела прекрасной жизни, Лимонов опять стал философом. Инженер Эйфель построил эту башню из золота. Против нее возражали люди искусства, а сейчас она вросла — в, и стала символ. Пол Елены четко обозначен. Она крутится и напевает… вокруг нас воздух и вот пошел человек похожий на Христа.

Живя вначале высоко под крышей на улице «Дружелюбного восклицания» Лимонов развел у себя на небольшом балкончике кур, а затем к зиме и поросенка. Он откармливал его отходами из ведра и был рад поросенку. В конце концов когда поросенок увеличился и окружающие французы стали жаловаться на запах, Лимонов пообещал им съесть поросенка в ближайший же религиозный праздник. Так он и сделал. Он пригласил Жана со скотобойни и Жан ловко лишил поросенка жизни. Лимонов при этом лицемерно и сентиментально плакал, говоря что поросенок напоминал ему о родине.

Стремление национального героя Лимонова к славе и известности было всегда необыкновенным а по приезду в Париж увеличилось еще. Не было ни одной известной личности из мира театра, кино, из поэтов и художников, с кем бы Лимонов не хотел познакомиться. С первого же знакомства он вел себя так, словно знал человека уже целый век. Он похлопывал деятеля по плечу, обращался к нему «милый мой», развязно крутился и говорил по-французски очень плохо. К тому же еще ни в грош не ставил Великую Французскую революцию, ее лозунги, смеялся над профсоюзами и студентами… но врагов он не наживал. Люди не хотели с ним связываться, ибо кто же переспорит национального героя.

Когда я читаю — я символизирую тягу моего народа к знаниям.

Когда я занимаюсь любовью — я символизирую огромный эротизм моего народа.

Когда я напиваюсь — я символизирую темные стороны русской души.

Когда я ем — я прикасаюсь к плодам земли и это корни моей нации.

Так говорил Лимонов

и два-три случайных иностранца слушали его улыбаясь. Если Вы хотите понять русских — взгляните в меня — тут Лимонову что-то стукнуло в голову и он убежал.

Будучи на приеме у Президента Французской Республики Лимонов сказал ему что коллекционирует титулы людей. И мой тоже — с улыбкой спросил президент?

О да! Вы в моей коллекции займете место сразу посла королей — учтиво сказал Лимонов. Короли — это нынче такая редкость, трудно с достаточно древними династиями. А вот императора — так и вовсе не одного.

Папа Римский — один,

Далай-Лама — один,

— отчитался Лимонов.

Лимонов отнесся к президенту невежливо.

Как-то Лимонов и папа Римский стояли на балконе. Внизу толпился народ. Мальчишка, пробегая мимо спросил у пожилого рабочего — Кто это на балконе с Лимоновым стоит? — Да говорят папа какой-то Римский — сказал рабочий. — И чего в нем Эдька наш нашел?!

В один из весенних дней своего пребывания в Париже Лимонов купил собаку. Собака есть собака ее в карман не упрячешь и Лимонов из магазина повел собаку домой. По дороге французские дети бежали за поэтом и кричали «Собака! собака!» по-французски.

Как-то раз:

На улице Жакоб 36, в галерее Дины Верни состоялась выставка Лимонова. На протяжении шести часов национальные герой стоял, сидел, лежал и прохаживался. Билеты стоили 500 франков штука.

Когда национальный герой прожил некоторое время во Франции, то во Франции появилась мода на блюда которые он особенно любил.

Это были:

Тройные щи,

Макароны с котлетами,

Шашлык.

Во всех приличных домах подавали такие блюда.

2. Комментарии к тексту

Художников может быть много

Поэтов может быть много

Национальный герой может быть только один

Национальный герой Лимонов выгодно отличается от псевдо-героя Гагарина.

Тот не нес в себе никакой духовной сущности.

Оболочка Гагарина была наполнена государством по его государственному усмотрению. Фактически государство взяло оболочку Гагарина и его имя напрокат.

Они оба дети России. Гагарин сын ее казенщины, казармы. Его родина — родина закрытых буфетов, генералитета и властей.

Лимонов — полное отрицание.

Чист и не замешан, никак не связан с государственностью. Сам создал себя. Прямая связь — Лимонов — люди.

В детском и отроческом возрасте Лимонов обожал украинский кладбищенский сад.

Он проводил там очень много времени.

И там же в пятнадцать лет он лежал сжимая красную тетрадь.

Пытался писать стихи.

Лимонов помнит как шумела в яблонях непогода и басом гудели старые тополя. Будущий национальный герой любил маленькие зеленые яблочки.

В мае национальный герой лежал на старой могиле под вишней. По нему ползали муравьи, ветер сдувал на него вишневые лепестки. Национальный герой лежал почти голый. Ему было семнадцать лет.

Он по-русски тяжело думал или вернее нет, он вчуствовался в мир.

В возрасте восемнадцати лет Лимонов посетил Кавказ. Он прошел его в одиночестве пешком по всем кавказским дорогам. В диких ущельях шумели горные реки. Лимонову встречались люди он работал в чай-совхозе, а потом с Кавказа ушел.

Лимонов посетил:

Новороссийск

Туапсе

Ялту

Ассирию

Вавилонию

Очень долго жил в Египте

Неутомимый путешественник видел Лхасу и жил в ней

огромные поля цветов и диких трав веселили ему душу

и в заоблачной дымке словно слышался треск разрываемого шелка

это давали знать о себе невидимые

Еще он посетил Киев

Ригу

и многие другие города.

Лимонов жил в княжестве Монако

он жил в герцогстве Люксембург

он жил в королевстве Дания

он жил в республике и римской империи

он дружил с Атиллой царем гуннов

он был правая рука Чингиз-хана.

О читающих:

Читатель-простак любит Евтушенко

повыше рангом — Вознесенского

интеллигент элитарный считает что любит Бродского

Исключительные люди любят Лимонова

Время старого пафоса во всех его формах прошло. Пришло время условности.

Лимонов — тонкое смешение странности жизни героя, иронии, энергичности и вся широкая страна перед ним.

Национальный герой Лимонов не тряпка интеллигент. Он силен в жизни. Захотел Елену — взял. А не растекался в пустых страданиях. А уж как казалось невозможно.

Нищий Лимонов взял красавицу от богача мужа. И ведь ее склонность, любовь сумел завоевать.

И голодный и холодный Лимонов бывал весел и безкомнатный спящий на вокзале бывал весел. читая книгу

а пище радовался.

Лимонов сменил за семь лет жизни в Москве 126 комнат и квартир!

Приборы национального героя — чайник и телефон. И тем и другим он пользуется в течении дня попеременно. То греет чайник, то пользуется телефоном.

В эпоху когда в России нет личностей. Он — смеет быть личностью. И нет в нем мрака. Он — свет и надежда.

Во времена негражданственные — он гражданин. И самим своим появлением глубоко общественен. Он больше принадлежит тем, кто не имеет надежды. Он — надежда.

Своим примером национальный герой Лимонов говорит миллионам парней — «Смотрите — вот я! Своим упорством, своей самостоятельностью я добрался до высших должностей жизни. Я следовал только себе. И вы это можете. Вы можете попробовать тоже!»

Национальный герой Лимонов заставляет жить. Его девиз — изменение. Устойчивая раз и навсегда форма не для него.

Материалы о национальном герое Лимонове в ближайшее время опубликуют следующие журналы Америки:

«Ридерс дайджест»

«Атлантик»

«Ньюсуик»

«Роллинг стоун»

Как сообщает АПН:

Национальный герой Эдуард Лимонов был приглашен в Соединенные Штаты Америки журналом «Роллинг стоун». Целью поездки является ознакомление с жизнью молодежи Америки.

Дело в том что кто-то же должен воплощать национальный тип человека. Лимонов как никто более подходит для этого. Если бы он был только непризнанный поэт со всеми слабостями свойственными русскому интеллигенту, он не был бы национальный герой.

Охающий и ноющий униженный поэт — явление распространенное и явление уже скушное. Побеждающий обстоятельства, честный и красивый Лимонов победил свою непризнанность поэта тем, что стал национальным героем, то-есть объединил судьбу, поэтическое и общественное. Великая честь ему и великая слава за то что он создал новое.

Он официально утвердил общественный институт национального героя. Поставив его выше судеб и профессий. И сам стал национальным героем своей эпохи.

Старое устарело. Лимонов — личность свободного выбора. Он собственный ставленник. Он имеет самые большие в России основания говорить от собственного имени. Ибо он никому не служит, ни от кого не зависит.

Кроме того он вообще симпатичный парень.

Стихи Лимонова народны

Они родились из:

песен старых песенников типа «Хаз-Булат удалой — бедна сакля твоя» Лимонов очень любил распевать их в детстве.

писем которые писала Лимонову бабушка «Эдинька, прелесть, радость и пончик!»

Не следует думать будто Лимонов только поэт. Нет, он с таким же основанием может быть назван и ремесленником портным. Да именно в совокупности поэта и русского ремесленного человека рождается Лимонов — национальный герой.

Вот садится солнце — Лимонов закончил дневной труд — подмел пол комнаты от ниток, принял душ и сел ужинать. Он ест со сладким удовольствием старинного ремесленника. Он ест свой хлеб свою ветчину, он устал и он доволен.

Национальный герой был на Красной площади и глядел на смену караула. Машина! — подумал он. Он чувствовал себя чужим. Он не чувствовал своей связи с государством. «Ели. Кирпичная стена. Кремлевский кирпич. Причем здесь я!»

Стоит Лимонов против царь-пушки и естественно думает о Чаадаеве. Такого ума и всю жизнь в Москве и с удовольствием преклонение генералов принимал. А царь-пушка возвышается и ядра ее лежат, вполне кстати говоря разумных размеров.

Лимонов говорит:

«Может бы стоило бы предложить новые внегосударственные формы существования людей, вначале поэтов, художников, а затем и простых смертных. Не пора ли уже?»

26 января Лимонова видели в «пивном зале» на Большой Садовой.

Он не герой вырастивший огромную свеклу. Но Лимонов и не герой прочитавший три тонны книг.

Лимонов не герой подчиненный. Он герой самостоятельный. Он Илья Муромец и князь Владимир в одном лице.

В общественных отношениях в соотношении сил в России давно появилось что-то новое, чего упорно не желают замечать. Лимонов — выражение этого нового.

Впрочем он национальный герой еще и потому что таковой нужен.

Если национального героя не в состоянии выдвинуть русская государственность, то его выдвигает русская человечность.

В биографии каждого русского героя объязательно должно быть Иванушко-дурачество как метод, как стиль.

Ну разве не великолепны русские и других народов сказки!

Дурак немытый на печи лежит Иванушка а потом шутя и играя дочь царскую в жены берет, да пол-царства впридачу! Эха!

Такова же сказка о битлзах — из рабочих парней да в миллионеры всемирно-известные.

Такова же сказка о Лимонове — Это ж надо из рабочего поселка где с хулиганами дружил до национального героя дошел!

Национальный герой говорит:

«Да я работаю на себя.

Быть красивым умным интересным гением-поэтом

и этим принести славу русской нации вот мое желание.

Чтоб национальному герою подражали

Чтоб одевались так как он

думали так как он.»

Тип героя Мандельштама уже выветривается из интеллигентских голов и все более устаревает.

Как-то Лиманов признался:

«На старости лет я изобрету машину для единовременного наложения всех красок, крема, пудры, ресниц на лицо женщины. Дабы облегчить женский труд и сэкономить женское время».

Национальный герой Лимонов обращается ко всем слоям общества. Он обращается к тем парням, которые способны к саморазвитию.

Национальный герой терпеть не может традиционного интеллигента — слабого, задерганого, состоящего на службе. Первого русского поэта Тредьяковского министр Волынский бил палкой Интеллигенту недостает мышц. Когда уже он их вырастит. И станет сильным и смелым.

Лимонов пьет водку поставив бутылку прямо на развалины Колизея. Сгущаются сумерки, Лимонову жарко, он постепенно напивается и начинает петь песню «Из-за острова на стрежень, на простор хмельной волны, выплыва-ают расписные — …тритатата-тритата».

собираются итальянцы.

Лимонов говорит в ООН речь по поводу создания государства интеллигентов.

«Вы обязаны дать нам территорию на льготных условиях!» — кричит он представителю Австралии — «обязаны!»

Нас всегда угнетали и гнали и цари и народы! Нам это надоело! Мы уходим от вас!

Как-то Лимонов обмолвился:

«Тот кто занимается каким-то вопросом, несомненно что-то выскажет по этому вопросу.

Так вот и Солженицын высказывает что-то, занимаясь устройством России.»

Русский национальный герой Лимонов отказывался видеть в западной жизни лишь хаос, как большинство русских, в том числе Есенин в Америке и Блок в Париже. Он порицал Блока и Есенина и внимательно приглядывался к проблемам Франции и Запада вообще.

Я не собираюсь в будущем писать только о России — сказал национальный герой.

Лимонов в самой высокой степени является представителем своей нации.

И куда бы он не поехал — нужно знать что он сын русской культуры и русских инстинктов, и что никто другой так не олицетворяет Россию как Лимонов.

Несколько тысяч людей лично знающих Лимонова конечно хотели бы избрать его своим представителем в Верховном Совете, но они неорганизованы и крайне робкие граждане.

Русский Одиссей — Лимонов — оглядывается:

«Мои друзья — например те, кто со мной закончил школу — остановились в своем развитии уже в двадцать. Самое большее на что они были способны — это окончить высшее учебное заведение. С работы и на работу — вот и вся их жизнь — жена да дети.

А со мной произошли еще удивительные приключения. Я увидел первого живого поэта Мотрича. Увидел его вершину и падение. Познакомился с парадоксальным Бахчаняном.

Потом приехал и в Москву — хоронил Крученых, хоронил сюрреалиста Соостера. Многих слышал, видел и знал. Я написал здесь «Русское» и «Золотой век». Узнал и полюбил Елену.

В Москве я познакомился с художниками Яковлевым, Ситниковым и Кабаковым, поэтами Холиным и Сапгиром, с Лилей Брик, послом Бурелли, академиком Мигдалом и коллекционером Костаки и другими.

Косность в лице учителя Якова Львовича Капрова и моей матери Раисы Федоровны Зыбиной хотела направить меня в общее русло жизни, но я оказался инстинктивно упрям. Я благодарю тебя — судьба и благодарю Вас — мой личные силы! Так разворачивайся далее — занимательная одиссеева жизнь!»

Московский этап Лимонова

1967–1974 гг.

оброс легендами.

Лимонов работающий строителем монтажником на сырой площадке цеха — близорукий, окончивший школу, оббивающий зубилом концы арматуры, чтобы бывший беспризорник украинец Золотаренко-старший сварил их вместе

такой Лимонов в сапогах и ватнике предстает нам из 1960 года.

Есть ли у национального героя Лимонова сбережения в банке, есть ли у него капитал?

Никакого!

У национального героя есть его гений и желание жить в новых формах жизни, дотоле не существовавших.

Для Лимонова нет определений «свободное время» «досуг» «отпуск» «работа».

Для национального героя есть твердое и ясное одно определение — «жизнь».

и он ею располагает

и над ним только Бог

и нет над ним человека.

Национальному герою нравится холмистый морской прибрежный пейзаж с растениями, с камными и выразительными скалами по берегу. Солнце горячее. Нравится путешествие на небольшом парусном корабле.

Национальный герой любит плотно облегающие костюмы.

Известен знаменитый пиджак Лимонова, сшитый им самим из кусочков ткани. Видимая поверхность пиджака состояла из 114 кусочков ткани. Пиджак снабжен инициалами национального героя «Л» и «Э».

Рабочий Борис Иванович Чурилов как никто другой в свое время повлиял на Лимонова.

Без Бориса Чурилова Лимонов навсегда остался бы хулиганом Салтовского поселка.

Такого рабочего как Чурилов во всем мире не сыскать. В 1964 году, на третьей смене, он и Лимонов впервые читали Кафку на украинском языке в журнале «Всесвит». А вокруг гудел литейный цех.

Все свои деньги Чурилов тратит на книги и пластинки. В 1974 году Чурилов ушел из Литейного цеха и стал землекопом.

Он рисует церкви на бересте и изготавливает рукописное евангелие с цветными миниатюрами.

Однако он все же меньше Лимонова. Он просто удивительная личность. Лимонов же не подчинился среде. Он национальный герой.

Лимонов и Елена как:

Ромео и Джульетта

Дафнис и Хлоя

Беатриче и Данте

Петрарка и Лаура

Лейли и Меджнун

Дали и Галя

Мао Тзэ Тунг и Цэян Цин

Естественно не забывайте

что с приметами нашего времени.

Только по причине любви к Елене Лимонов полностью стал национальным героем. До этого образ его был не до конца выяснен. Нехватало раскрытия его в личных отношениях.

Сила Лимонова проявилась в так называемом реальном мире, как сила заставившая Елену полюбить Лимонова, а затем и уйти жить вместе с ним.

Лимонов играл в кино:

Степана Тимрфеевича Разина

Емельяна Пугачева

Василия Ивановича Чапаева

Сергея Есенина

и самого себя

в картине под названием «Национальный герой»

Еще ему хотелось сыграть атамана Антонова.

Лимонов на 99,9 % безупречен.

Что в облике Лимонова может быть лишнее — это очки.

Ну уж тут — что сделаешь — врожденная близорукость.

Но образ Лимонова — без очков.

Да еще и в косматой папахе.

Одежда любой фирмы, которую одевает Лимонов становится одеждой национального героя.

Майки — лимоновки.

носки — рубашки — лимонки

пиджаки — лимон.

прически — айлимонов.

Ему не нужна особая обстановка

Национальный герой обливает любые вещи своим сиянием.

И вещи приобретают новый романтизм.

Таковы и глинистый овраг в районе Харькова и московские бензиновые огородики у Яузы и дымящаяся свалка и продавленные стул и диван.

То-есть как микро-местность так и макро-пейзаж.

Национальный герой может остановиться на улице, и создать из себя статую.

Хорошо вечером прилечь и подумать о запрещенных государством вещах — о восстаниях, поджогах, о покупке или продаже оружия.

Так мечтательно говорил Лимонов.

Утро. Национальный герой сидит за столом — завтракает. Перед ним узкий длинный бокал, початая бутылка виски «Макинлай», кусок холодной телятины и салат включающий свежие огурцы. Хмурое русское утро. За окном май, холод и непогода: Ой вы сени мои сени, сени новые мои! Сени новые кленовые решетчатыи!

Национальный герой нанимал у хозяев многие комнаты. Как уже сказано 126!

Жил он и там где пол представлял из себя горку, а в подъезде стояла лужа воды. Дошел он и до сухих просторных квартир.

Но это ему все равно, и первые даже лучше вторых, ибо запоминаются трудностью своей.

Лимонов существует для умного юношества.

Старые «» еще могут понять, но уж никак не действовать. Поздно.

Он говорит:

«Как я дошел до жизни такой?

Я видел вокруг инфляцию духовных ценностей.

Вокруг сколько угодно талантливых нытиков-поэтов,

сколько угодно людей зараженных страхом смерти,

людей боящихся жить согласно себе, а не согласно общепринятому способу жизни,

людей сваливающих все на обстоятельства.

Я был способен. Жизнь была мне удовольствие во всех ее проявлениях.

Я видел что этим разительно я отличаюсь.

Я подумал, что я нужен как позитивный пример.

Я отнюдь не объявляю нашу современную жизнь адом, абсурдом. Я говорю, показывая на нее — вот она.

Я ценю в жизни самые энергичные проявления, откуда бы они не исходили.

Я не пожелал быть вялым талантом.

Я предлагающий сменить слабость на силу.

Как тип я принадлежу одновременно и всему народу и все-таки ее лучшей части — людям духовных проявлений.»

До 1972 года жизнь национального героя голодная и полуголодная.

Однажды Лимонов снимал комнату у хозяйки Людмилы, где были дети — Алла, Лена и Алик и отец алкоголик Ерш.

Алла играла на балалайке, Лена на скрипке, Алик все знал. Лаяла черная собака Чапа. На полметра от пола прыгали земляные блохи.

Ерш ползал в коридоре и варил в кастрюле огромную рыбу.

Я — Ерш — говорил он поднимая волосы рукой. Ты не Ерш — ты Коля, говорила хозяйка Людмила.

и была хозяйка Жанна

и была хозяйка Нина

и был хозяин Борис Иванов

и была хозяйка Нелли

и была хозяйка Зина

и был хозяин Владимир

и был хозяин Пестряков

и было хозяев…

Стихи Лимонова читают в следующих городах СССР. Прежде всего

Москва

затем Киев

Ленинград

Симферополь

Свердловск

Новороссийск

Одесса

Львов

Кишинев

Душанбе

Харьков

Магадан

Минск

и даже городок Бельцы

Люди переписывали стихи и увозили к себе. Так Лимонов распространился как поэт, хотя ни единого раза не был напечатан.

Читают Лимонова и во многих заграничных городах.

Первые американские хиппи появились в 1967 году.

Лимонов же жил у реки, ночевал в сараях и подвалах уже года с 1960-го. С 1964 года он уже непрерывно ведет жизнь полностью подпадающую под определение «Свободного существования».

т. е. живет плодами рук своих, нанимает комнаты от хозяев /по выражению Достоевского/, не служит, и располагает собой по собственному усмотрению.

Если ему кто нравится — он с ним дружит, если нет — национальному герою легко в сторону уйти.

Национальный герой в тот период ничего не покупает /как впрочем и в этот/ у государства кроме несчастных продуктов питания.

Деньги немногие, нужные для питания ему доставляет шитье брюк. Непосредственно на эти деньги, получаемые из рук заказчиков, каковыми являются его многочисленные друзья, он и покупает еду.

Национальный герой говорит:

Окуджава и все прочие — выдохшееся поколение. Сюссюканье городских романсов инженерам в протертых штанах это очень нравится. Под эти романсы хорошо просерать свою жизнь на службе, под их мелкотравчатый гуманизм.

Внушить новый образ жизни — вот что насущно необходимо нации.

Национальный герой размышляет:

«Как на мелкие цели, так и на великие затрачиваются одинаковые средства. Гений это тот, кто не занимается мелочами, а умеет оборачиваться только к главному».

Я ввел в обиход выражение простые люди в его отрицательном смысле. И не жалею об этом. Я сам был героем времени.»

— сказал Лимонов.

И так он сказал:

«Нужно непременно играть. И нужно заиграться. И нужно довести игру до конца — до смерти. /Играть — принять чуждое, но желаемое/».

Еще Лимонов сказал:

Сахаров и Солженицын — дети радио. Вся так называемая русская оппозиция обязана своим существованиям радиостанциям, а отнюдь не смягчению нравов. Пляши Маклюэн! Никогда ранее в России такое не было возможным. Мы тоже удостоились включения в мировую деревню.

Однажды Лимонов бросил вскользь:

Легенды Александра Великого, Цезаря, Наполеона, Мао-Тзэ-Тунга — грошовая глупость, лубочный вариант для непосвященных. Я берусь воспитать из подходящего русского мальчика великого полководца и необыкновенного мудреца».

Ох эти главы правительств! Эти Чаушеску, эти Никсоны! Они напускают на себя такой вид, точно мы без них не ели бы, не жили, не существовали. Благодетели! А то до них было пустое место. Сплошной Салтыков-Щедрин был, да?

произносит национальный герой.

Надо отнять у них их ореол. Никакой таинственности нет у бюрократов!

Чего ищет человек? /отдельный человек/

Славы и чести

А чего ищет государство в лице всех?

— покоя и усредненности

и это он сказал.

Для воспитания в простых людях чувства историзма, нелишне выпускать пуговицы с изображениями /поясными портретами/ великих людей древнего, старого и нового времени. Люди каждодневно надевая одежды наслаждались бы видом высоких особ, которые одновременно служили бы и примером.

так он предлагает. Он — национальный герой Лимонов.

Вот он был неким символом. Вот он был вечным притворой этот Лимонов, черт его знает чем и кем. С одной стороны энергичен, стоек. С другой стороны вдруг где-нибудь на людях, где его не знают — разноется, притворится, в присутствии каких-либо юношей, что те его успокаивать начнут. А выйдет на улицу, как рассмеется!

Так и корчил дурачка, даже рожи корчить утруждался. Войдет бывало простофилей глупым в иные дома, да так привыкши у двери их и впредь лицо быстро сменяет.

Моя голова атакуется информацией

ТВ вчера мне показал как японцы ловят в иле каких-то полубычков, полу-рачков. Знать мне это нужно или не нужно, во всяком случае я теперь это знаю.

Лимонов.

Он вспоминает:

«Я любил покидать друзей, когда выростал из них. Я не был лишен сентиментальности, но помню облегчение с каким я выходил из ворот завода «Серп и молот» полностью рассчитавшись и поставив нужные лиловые печати. Мир снова был неясен, открыт, а этап был позади. Так же и друзья. Я вспоминал их и вспоминаю.

Я в каком-то смысле их представитель в других высоких сферах жизни — куда они не дошли. Но я горд и мне хочеться как Суворову при получении звания фельдмаршала прыгать через стул и кричать «Салтыкова обошел! Бестужева обошел!»

И я таков».

«Ну да; я сын младшего офицера Советской Армии и вполне устраиваю низшие классы. Нельзя сказать что происхождение сразу поставило меня в выгодное положение в мире. Отец мой играл на гитаре, был начальником клуба в своем полку, и паял телевизор. Сколько помню себя, мы жили в одной комнате все втроем.»

говорил Лимонов в частной беседе.

Для роли национального героя

тридцать лет вполне подходящий возраст.

Я испытывал чувства ужаса и подавленности пока был такой как все.

Но подавленность сразу исчезла, как только я набрел на стихи. Уже тогда.

— вспоминает Лимонов.

Вся моя жизнь есть борьба с общепринятой моралью, с моралью отца и матери, с «будь как все!»

Я говорю. «Не будь как все!»

Будь особенный — развивай в себе странности, чутко следи за собой и придешь к искомому. К тому месту жизни, где тебя не будут мучить кошмары, а будет ясное ощущение — я стою там, где нужно и будет легко — чуть ли не взлетишь

Лимонов стал национальным героем за:

русских харьковских ребят:

Саню Красного

Костю Бондаренко,

«Голливуда»

За Кота и Леву

за капитана Зильбермана

за Витьку Косого

за друга Писарова

за друга Кадика

За двоих Ляшенко, за Ляховича, за Ляха

За Витьку Кемченко и Витьку Ревенко

За Славку Цыгана

За Бакарева

За Гришку Приймака

За Витьку Головашова и Сашку Тищенко

За Леньку Коровина

Вовку Золотарева

умершего Витьку Проуторова

Он дошел за недошедших:

повесившегося поэта Видченко

железнодорожника Игоря Иосифовича

спившегося поэта Мотрича

зарезавшегося поэта Аркадия Беседина

за Леньку Иванова

за Сережку Горюнова

за директора магазина Мелихова

за Поля Шеммета

за художника Басова

за друга Гришу Гуревича

За Соколова

За Прокопченко.

Московских же ребят перечислить и нет возможности

. . . . . .

Капитан Лукашевич вышел из ворот своей воинской части и задумался. Капитан Лукашевич должен был встретиться на Красной площади в 21 час 00 минут при смене караула у мавзалея с человеком, стоящим возле Лобного места, читающим надпись на исторической доске.

Алексей Лукашевич должен был подойти и сказать «Здравствуйте! Уже поздно осматривать Кремль, а не пойти ли нам поужинать?!» И после этого, как можно меньше взглядывая по сторонам, он и его странный знакомый должны были отправиться прочь с Красной площади.

Так все и вышло. Спутник его был лет тридцати, а пожалуй и чуть моложе. Фамилия его была Лимонов.

1974 г. Москва.

Дневник неудачника или секретная тетрадь

Неудачникам посвящается

«Среди других народов поселяются обычно неудачники. Великое и отважное племя неудачников разбросано по всему миру. В англоязычных странах их обычно называют „лузер“ – то есть потерявший. Это племя куда многочисленнее, чем евреи, и не менее предприимчиво и отважно. Не

занимать им и терпения, порой целую жизнь питаются они одними надеждами…

Следует отметить одну характерную особенность – мужчины и женщины этого племени, добившись успеха, с легкостью отрекаются от своих, перенимают нравы и обычаи народа, среди которого к ним пришел успех, и уже ничто не напоминает о том, что некогда принадлежали они к славному племени неудачников…»

Из Британской энциклопедии

Если целый день писать, а под вечер включить все две лампы в каморке, вылезти на узкий балкончик отеля и поместиться там, максимально отклонившись к улице и к небу, – то можно видеть со стороны: как бы ко мне люди пришли, как бы праздник. Еще если стаканов на стол наставить.

А люди где? Ну, они слева и справа, так вроде сидят, что из окна не видно, взор не досягает…

Снег

Утром шелестение. Снег. Сквозь полуприкрытые веки, без очков, близоруко из одинокой постели в отеле с тревожным вниманием – снег.

Вдруг почему-то вспомнил он двух своих жен. С одною смотрел из окна, молодой, двадцати двух лет был – пышно и томно целуясь. Пышная была женщина, томная. Смотрели в снег. Запах каких-то духов, октябрьско-ноябрьская пластинка и грусть. Со второю неоднократно тоже в открытое окно – снежинки волосами и губами ловя. Как был счастлив!

Беспорядочное движение. Вместо чтения со словарем умной американской книги, полезной для его честолюбия, – битый час глядит в окно и вспоминает школьные знания. – Какой высоты облака, может, от ветра зависят? А над Атлантикой тоже? Тает в воде? Пусто. Бедные рыбы! Холодно. Бедные мертвецы в земле. Бр-р! С испугом оголив руку. Не дай бог умереть зимой. Снег. Очевидно, на весь день.

Идти некуда. Не ждут родители – их нет. Не ждут друзья – их нет. Не ждет любимый или любимая – таковых нет. Не ждет работа – ее нет – она со мною слилась. Не ждут собутыльники – пить перестал. Горько. Зачем вообще вставать из постели.

Самое смешное, что он идет снизу тоже.

Закрыв глаза челкой, тихо качаясь, поглаживая сквозь брюки бесполезный член.

Была одна. Страшненькая. Звонил ночью, приходил к ней. Набрасывался прямо у двери. Была в восторге. Запросилась встречаться днем. Сказала, что любит. Вот все и сгубила. Утром медленно пел в американской комнатке с Бердслеем Ив Монтан. Ночью-то было куда лучше. Не раздеваясь, в пальто, прямо на полу.

«Стравберри джем» – 1 доллар 79 центов. Утром тост – масло и джем. Приятный запах поджаренного хлеба. Зачем мне все это – Эдуарду Вениаминовичу – сыну Вениамина Ивановича, крещенному по православному обряду, родившемуся в 1943 году.

Возьму нож и сижу-гляжу. Часами, бывало, глажу, а если выпью немного – целую. Что хочу – чему молюсь – неизвестно. А то перед зажженной свечой молюсь Иисусу Огненному о любви. Иисусу молодому – дай любовь!

В сущности, ни одной молитвы до дела не знаю и в этих делах плохо разбираюсь.

Девочка также была одна. Дочь известного человека. Интересовала девочка. Впервые за долгое время. Знал – влюбился, ибо стал очень глуп. Разница – пятнадцать лет, всего четыре встречи, два поцелуя – жалкая арифметика. Телефон – чудовище. Родители – мешающие, она сама – мало заинтересованная. Разными темпами миры у нас двигались. В ее возрасте все сонно и еле-еле. В моем – бешеное кружение. В случае с этой девочкой ничего не известно – и не оборвалось, а так – затерялось где-то в телефонных проводах, запало в какое-то углубление, в канавку, и лежит. Оно.

Снег движется теперь не так плотно, между снежинками больше воздуха, изменилась их форма. При свете в моей комнате и при двух пятнышках на моей левой контактной линзе, я как бы погружен в сумрак египетский, в лазаретное освещение, в полу – тот свет.

На мне китайская лилового шелка блуза. Подобрал я ее в каком-то подъезде на полу. Даже не стирал – чистая была. Не то пьяный оставил – не то переборчивый выбросил. Пришлась впору. Люблю. Шелк потом. Шелк нравится.

Был один парень. Танцевал. Хороший парень очень. Последнее отдаст. Лет на пять старше, на шесть. Остался я как-то с ним. Ласковый он. Шерсти только много. Член, простите, большой. «Кончил, говорит, я в тебя». Ну кончил так кончил. Запонки утром подарил. Из золота. Грустно было. Я люблю, когда грустно. Зачем я с ним не остался? (А я не остался.) Да так, знаете, не люблю тихой жизни. С ним меня тихая жизнь ожидала. От хорошего всегда бегу.

Конфетку, что ли, скушаю. Купил вчера русских конфеток на Первой авеню в даун-тауне. Для себя бы стараться не стал. Девушка одна – дочь алкоголика и убийцы – появилась, для нее купил, конфеты любит. Нюшкой я ее про себя прозвал, вместо ее американского имени. Я, говорит, до этой жизни была религиозной проституткой в Греции. И кошкой еще она была. Укатила в Орлеан. Всего два раза и виделись. Сны ей снились, последний – что ее семь человек изнасиловали. Красивая.

Еще одна была 24 часа. Маленькая, в чем душа держится. Тянет в постель – мне смешно. Затащила. А легла – грудка белая, женщина двадцати лет, да какая. Сидели в «Джоннис дэй» – ресторанчик в Вилледже – вино пили. – Люблю, говорит, тебя – свой ты мой – единственный. Вернулись, легли, а до самолета (улетала она) – два часа только. Как зверюшки – не растащить нас, еле расстались. Письмо написал – член мой, пишу, без тебя тоскует, без п. твоей. Ответила. И такое бывает.

Пристрастие к белому. – Четыре пары белых брюк – и все мало. И зимой в белых брюках хожу. Однажды в дождь, на грязном в аптауне Бродвее, ночью, – полупьяный русский интеллигент сказал мне восхищенно: «Ты как луч света в темном царстве. Вокруг грязь, а ты в белых брюках прешь, ошарашиваешь собой. Правильно!» Комплимент сделал.

Снег уже еле видим. Горизонтально-быстрый, мелкий. Через день у меня рождение. День моего рождения. Я проведу его один, изощренно что-либо сочиняя, питаясь мясом и вином. А потом пойду на Восьмую авеню и выберу себе проститутку. Недорогую. По-видимому, белую. Полукрасивую-полувульгарную.

Снег кончился. Постель моя, аккуратная впрочем, имеет в своем облике какой-то изъян, неполноценность. Глядя на нее со стороны, я это понимаю, только объяснить невозможно.

А сейчас загремел гром. То вдруг все освещается, то затемняется.

Если выйти из отеля около часу дня. И пойти по любой авеню в даун-таун, то постоянно будешь идти в солнце. И это тепло, даже если февраль.

Иногда даже в глазах очень богатых людей, чаще женщин, я вижу дикую грусть. Они воспитанны, прилежны, никогда не скажут, не нарушают. Но тут мне хочется обнять иссохшую старуху – бывшую красавицу – прижать ее седую голову к своей груди и гладить по снежным коротким волосам, говоря:

– Ну что, моя маленькая, ну успокойся. Ну, ничего.

Ну пусть так, ну что делать! Успокойся!

Маленькая моя!

А.М.

Я помню какие-то имена.
Особенно Манфред и Зигфрид.
Я не знаю, откуда они пришли, но они есть во мне – эти имена.
Манфред слдит на берегу – Зигфрид купается в озере.
Красивые белые кувшинки, – говорит Манфред.
– Я не знаю куда плыть! – кричит Зигфрид.
– Плыви на мой голос! – кричит Манфред.

Зигфрид выходит из воды. Манфред набрасывает на него какую-то ткань и его вытирает.
Вытирая, он и целует его одновременно.
Спускаясь с поцелуями по чистой коже Зигфрида, на полурасстоянии от земли он находит нечто. Губы его останавливаются в этом месте.
Музыка леса сопровождает затянувшееся свидание.

Что бы они потом ни надели – какие бы наряды.
Подадут ли карету или сядут в автомобиль.
Я люблю вечернее небо. Сужающийся летний вечер.
Тихую тоску собственной прошедшей юности.
И неожиданно Вас – мой милый друг.
Мой бледный, цветочный, танцующий друг.

Огородики Нижнего Ист-Сайда. Репа и морковь.

В Гарлеме зацветает чеснок.

На Пятой авеню роняет свои плоды на землю помойное дерево.

Ветер трясет золотые заболоченные бамбуковые рощи Вест-Вилледжа.

Поют птицы, летают стрекозы.

Мистер Смит и мистер Джонсон шагают по размытому левому берегу Бродвея в резиновых охотничьих сапогах. Время от времени Смит вскидывает ружье и стреляет в выпархивающую из зарослей утку.

Самое оживленное место – где еще сохранилась табличка «Вест – 49-я улица» – в этом месте единственная переправа через Бродвей. В развалинах на берегу меняют дичь на кофе и сахар, пушнину – на кости и рыбу, и продают одежду, в которой большая нужда.

Апрель. Хорошо. Воздух-то какой. Наконец-то можно согреться. Обитатели некогда Великого города, почесываясь, греются на солнце.

Нравится ли вам термин «гражданская война»? Мне очень.

Великое открытие

Я люблю безумие. Вся моя жизнь тому примером служит. Я культивирую не логику, а наслаждения. Мои болезненные ощущения доставляют мне удовольствие.

А когда мне нужно помучить другого человека, я выхожу ночью и ищу жертву.

Несколько раз я уже кое-что попробовал и был счастлив.

Сегодня я нашел доллар на улице. Потом я купил себе тюльпаны.

Позавчера я ударил свою жену ножом. Впрочем, она отделалась испугом.

С этой женщиной у меня таинственная связь. На первый взгляд у нас с ней простые отношения – она ушла от меня год назад. Но что может знать толпа обо мне и о ней?

Существует невидимое взгляду.

Кто-то из нас жертва, кто-то палач. По временам мы меняемся ролями. Даже самые умные люди ничего не поймут. В этом деле может разобраться только дьявол. Он же и заварил эту кашу.

На вид, знаете, она и, вроде, Лимонов. Но я же вам говорю, что дело куда сложнее.

Порой я гуляю, подняв воротник моей шубы. Для проходящих людей в витринах просто ботинки и шляпы. Для меня это давно не ботинки и шляпы, а резкие и таинственные символы и знаки, которые вещают, угрожают, а порой я от них спасаюсь, как от настоящих преследователей. Да они и есть настоящие – особенно те черные сапоги до колена с 45-й улицы – я их просто боюсь. Они определенной мелодией звучат, и улыбаются, и исходит запах.

Я люблю многое в городке, где сейчас живу. Он – Нью-Йорк – довольно обширен. Его мусор – самый красивый мусор в мире. Я знаю одного человека, который пытается мусор рисовать. Но у него пока плохо выходит, то есть рисует он хорошо и правильно, но мусор следует рисовать. Как цветы. Я знал одного художника – он был сумасшедший – ах, как он рисовал цветы! Он был моим другом, временами он спал под роялем. А вообще, это было так давно, что голова болит.

Мне, конечно, доступны простые забавы. Например, я жду весны. Я не говорю, что весна это благо – я жду ее как гниения – гниение же мне мило. Наконец набухшее за зиму вскроется и обнажится – вытечет гной, лица во многом станут говорить сами за себя, и городок станет огромным скопищем движущегося мяса – мясу присущи запахи и бесцельное броуновское движение – как обучили меня в школе, в химических и физических полутемных кабинетах умные еврейские учителя – размахивая колбами и ретортами.

Я никогда не был жесток. Я не поджигал собак и кошек, не обрубал хвостов или лап, не охотился на крыс или птиц. В полях и лесах я ходил бесцельно. Мучить животных или растения не доставляло мне удовольствия. И я не знал еще счастья мучить людей.

Я набрел на Великое Открытие за несколько дней до того, как мне исполнилось тридцать три года. Это была самая фантастическая пора моей жизни – я был на взлете – любимая женщина ушла от меня, дьявольски похахатывая, – я парил, я страдал каждый день и каждую ночь – я бился в истериках и мастурбациях – они были очень сложны. Я глотал собственную сперму, перемежая ее глотками вина – нектар и амброзия богов. Тогда-то наконец исчезла из моей жизни скука, и стал я жить празднично.

Великое Открытие совершил я, когда душил жену. Вернее, когда, недодушив, отпустил. Я посмотрел на нее – до этого наглую и гордую своими успехами самки – количеством и качеством мужских членов, в нее входящих. Я посмотрел… она была… О, это мгновение я никогда не забуду. Ради этого только и стоит жить. ***Она мычала.*** Халат был расстегнут, пустые ватные грудки топорщились по сторонам, на красивом животе была некрасивая складка. И она хотела жить. Я мог сказать ей – целуй мои ноги, ешь мои испражнения, лижи меня – она бы все тотчас исполнила. Я со странной улыбкой потрогал ее голые груди – я сам мало что понимал, но что было

понимать, я почувствовал удовольствие, заливающее меня. «Я выебу тебя и отпущу», – сказал я, но мне уже не нужно было ее выебать. В этот момент у меня случился оргазм – там брызнуло у меня в брюках, и я непроизвольно потерся спиной о спинку глупой деревянной лавки, на которой мы сидели (она служила нашей бедной семье диваном). И тогда я понял, что я ***люблю насилие*** . И стало мне спокойно-спокойно. И все тревоги мира мягкими ватными облаками улетели в трансцендентальное черное небо.

Так я совершил Великое Открытие. Люди – это болезненное жалкое мясо, прищеми его покрепче, и где тот, что философствовал, бизнесменствовал, воздвигал, был авторитетом и членом, и где та, что была такой-то и как будто бы любила то-то и то-то, только мычат и плачут. ***И просят…***

Я живу с моим открытием. Мне хорошо с ним жить. Я вовсе не жесток, меня многие считают хорошим парнем. Но я почему-то равнодушен к путешествиям и не очень хочу денег. Страсть-то у меня другая. Я не могу отказать себе в удовольствии как-нибудь еще поглядеть на человека в таком мычащем состоянии, это особенно приятно по отношению к сексуально близким людям. Очень хочется. Мне запомнился, видите ли, тот оргазм, и я хочу его повторить.

Конечно, я боюсь закона. Я не согласен рисковать безоглядно. Само наказание меня не пугает, но я лишусь дальнейших возможных удовольствий.

Когда будут апрель и май. И зазмеится змеями зелень, и лопнут растения, и завоняют женщины из-под юбок или сквозь ткань брюк – занеряшливятся и покроются прыщами наши городские секретарши. Когда совершится в природе очередная абсолютно необходимая революция, я попробую кое-какие приемы. Я знаю состояние, которое у меня при этом будет, и заранее мелко дрожу… Одни коллекционируют бабочек, другие – добродушные и покорные бугаи – играют в мяч. Я – странный мужчина.

Я вижу: почти все несчастливы. Что с ними делать?

Некоторые – часто актер и актриса – сойдутся, устав годам к сорока, и живут вместе. Страшно ведь поодиночке. И уж не перебирают друг в друге – терпят друг друга – лишь бы не одному – страшно ведь. И оголенные их глаза ужасом горят, когда они, друг в друга вцепившись, вдруг в «Пипле» напечатаны. Боязно. Оторвут.

В Нью-Йорке почти мертвецов не видно. Ухитрились их из жизни незаметно изымать. В домах трупы, кажется, не держат, друзьям для прощания не выставляют. Однако как бы части жизни лишены этим.

А помню, в Москве комнату снимал. Иду домой как-то, а там свет ночью. Необычно. Простые люди – соседи-рабочие всегда спят в это время. Вошел – стало понятно. «Толик-то наш

отмучился!» – бабка-соседка говорит. Сосед – слесарь, 44, хрипевший за стеной от рака желудка, наконец покинул сей мир.

«Иди погляди! – потащила меня бабка, – мы уже его сами и обмыли, и одели».

Я пошел, я как они, русский человек к смерти с почтением. Лежит на столе в черном костюме, только без туфель, в носках. «Потрогай – ноги уж захололи», – говорит бабка – она пожала рукой его ступню в носке. Потрогал и я – холодная. Вещи слесаря Толика по обычаю роздали. И мне достались две белые рубашки и почти новые кожаные перчатки. Большое только все. Крупный мужик был. Я их кому-то отдал. Кажется, художнику Ворошилову.

Интересно, а счастливы ли Даяна фон Фюрстенберг или Джекки Онассис? Из журналов этого не узнаешь, из ТВ не увидишь, сами они этого не расскажут. Как-то показывали обезьян по ТВ. В Африке изучают их любознательные японцы.

Обезьяны выглядели счастливыми, но потом один лысый мужчина-обезьян устроил такую яростную истерику, что я изменил свое мнение. Лес, наверное, тоже осточертел. Все стволы да стволы. А вот лежат они хорошо. Дети, девочки, самки взрослые – кто кого поглаживает, кто еще что делает во взаимной ласке. Это бы у них перенять.

Дочь мадам Анго

Ох эта дочь этой самой мадам. Мадам, судя по имени, была особа легкого весьма поведения, а дочь, очевидно, тоже двусмысленная особа, ибо яблоко от яблони, как говорится, недалеко падает. И характеристика в самом даже только названии заключена. Можете себе представить на минуточку, если мадам Анго переступила через все приличия и уже звучит двусмысленно, то какая же штучка дочь мадам Анго… Полный выходит разврат. Небось, на голое тело шубу наденет и в ресторан, роза или какой другой цветок в волосах, а в ресторане скандалы устраивает и мужчины из-за ее дьяволицы дерутся. Кровь течет, зеркала вдребезги, многие токсидо порваны, и фраки. А она прохладной кожей из-под шубы пахнет, грудь с непристойным надтреснутым соском обнажит – и довольна.

Живет одна. Квартиру снимает. То один мужчина к ней подселивается, то сразу дюжина в гости похаживает. Никакой системы. Одевается так, что всем все ясно. Шляпа набок, почти пол-лица не видать. Штаны какие белые наденет, или платье как флаг на пол-квартала волочится. Уж и не шестнадцать лет, однако серьезности не видать. Курит, пьет и нюхает как лошадь. Втайне от всех страдает слабым здоровьем. Любит ебаться, даже пыхтит. Плохо кончит.

Мундштук всегда длинный в пальцах вертит. Плохо кончит. Умрет под забором. И все же забавна.

Ее система жизненных ценностей покоится на икре и шампанском. В литературе дочь мадам Анго выходит замуж за генерала или сенатора, или умирает от роковой злой болезни (туберкулез, рак). В жизни – не всегда.

Любит свою п. Ласково ее называет, уменьшительно, употребляя многие суффиксы и окончания.

Я никогда не встречал человека, перед которым мог бы стать на колени, поцеловать ему ноги и ниц преклониться. Я бы это сделал, я пошел бы за ним и служил бы ему. Но нет такого. Все служат. Никто не ведет. Новой дорогой никто не ведет.

Никого нет на дороге.

Чистый двор вижу. Молодых людей вижу, мужчин, женщин. Сидят по-восточному, поют, друг друга касаясь и покачиваясь согласно. «Боишься ли ты воды?» – спрашиваю себя, проснувшись. «Я ее давно уже не видел», – отвечаю себе.

В чистый двор бы, к тем людям, не важно во что одетым, не важно – мало ли, много едящим, но с ними, – руки других чувствовать, без злобы вместе быть.

Купите мне белые одежды! Дайте мне в руки огонь! Обрежьте мне воротник. Отправьте меня на гильотину. Я хочу умереть молодым. Прекратите мою жизнь насильственно, пустите мне кровь, убейте меня, замучайте, изрубите меня на куски! Не может быть Лимонова старого! Сделайте это в ближайшие годы. Лучше в апреле-мае!

В туманные весенние дни наш Нью-Йорк необыкновенно прекрасен для одинокого человека.

В таком тумане хорошо искать тюльпаны на вершинах небоскребов, мило и одиноко перелетая с крыши на крышу на домосделанных шелковых крыльях.

Черные ткани хорошо впитывают солнце. Хорошо в них преть весной. Когда-то, может быть, у меня было такое пальто. Сейчас я уже не помню. Хорошо скинуть пальто в лужи, перешагнуть, зайти в дверь, она хлопнет за спиной, купить жареного, выпить спиртного, утереться салфеткой, сойти со стула. Сказать ха-ха-ха! Выйти в дверь, завернуть за угол налево, вынуть нож, спрятать его в правый рукав, нырнуть в подъезд Вашего дома, – ударить ножом швейцара, прыгнуть в лифт и очутиться на девятнадцатом этаже. Поцеловать Вас в глупые губы, раздеть Вас к чертовой матери, выебать Вас, задыхаясь, в неразработанное детское отверстие, в слабую глупую дырочку. Шатнуться обратно к двери и получить в живот горячий кусок металла. И умирать на паркете. Лишь я Вас любил, пожалуй. Ботинки полицейских чинов в последний момент увидать.

– Друг мой Габриэль – любите ли Вы пытки? В сущности, приятно же наблюдать перекошенные лица.

– Я люблю пытки, соприкасающиеся с сексом. Чистая боль неприятна для наблюдающего – Эдвард.

– Согласен. Я – азиат, Габриэль, а восточная утонченность в этих делах общеизвестна. Азиаты – мы любим кое-что практиковать.

Грустная карьера майора из южной страны протекала под кипарисами и пальмами.

Я люблю дерево смерти в крови у ствола и чью-нибудь судьбу короткую для примера.

Нож, проткнувший географическую карту.

Офицера в берете – это мой адъютант.

Кровь на бинтах отвалившегося в траву солдата.

Запах одеколона и коньяка.

Я люблю свое будущее.

И черные южные тени.

И женщину двадцати трех лет, пробравшуюся, чтобы меня застрелить.

Вчера идет черный по Бродвею и меланхолически произносит: «Я люблю Кинг-Конга… Я люблю Кинг-Конга… Я люблю Кинг-Конга…»

Я ему улыбнулся. И он улыбнулся. Как заговорщики, переглянулись.

Мы-то знаем. И не в большой обезьяне дело.

Вчера же еще одного своего встретил. Он, согнувшись, жестом артиста предлагал автомобилю передвинуться. Белый, высокий, смешной. Этот сам мне так улыбнулся. Отец мой мне так не улыбался. Свой – ясно.

Два за день – не так плохо.

Парикмахер Жюль, коллекционер марок Серж и я как-то само собой подружились и образовали компанию. Сплотила нас страсть к общим полетам на закате дня. Часто в безоблачную погоду вы можете нас увидеть парящими над ближними холмами и озерами близ городка Сент-Поль – мы возлежим все трое в воздухе над большой сосновой рощей к юго-востоку от Пиэрии и вдыхаем ароматы.

Порою мы устаем. Больше всех достается парикмахеру. Он толстый, и чтобы не отстать от других, энергично машет руками и ногами – загребая широко и неуклюже. Потеет, бедный. К тому же он женат.

В мои годы, наблюдая всегда со стороны – знаю о людях все. Очень смешные. Те танцуют. Эти поют. Многие пьяны или накурились. Солидный человек, молчащий весь вечер, вдруг вскакивает и исполняет дикий подсознательный танец.

Все известно. Скушно. Кто постарел, кто стареет. Кто собирается стареть.

Как будто цель жизни – чтобы Эн устроился на работу куда хочет, Эм выпустил книгу, Е удачно вышла замуж, а Дэ купил браунстоун в Нью-Йорке.

Я – монгол-татарин. Мама моя из Казани. Мы, монголы, – хитрые и мудрые. Я хожу среди них с челочкой до бровей, вежливо улыбаюсь и скрываю дикую монгольскую скуку, которая зародилась в почерневших степях, у развалин городов, когда всех мужчин прирезали, наелись мяса, выебли всех полонянок – и что еще делать на этой земле? Полнота жизни.

Ой, братцы – скушно!

И ни к кому сердце с интересом не потянется – разглядывая…

Из магазина, а тепло ведь – переходя с пакетом еды улицу – ожидая зеленый огонь. А на другой стороне – лицами ко мне – школьники, самые младшие, с учителем. Вторая авеню.

И что вижу – *она* – лет шести, распущенные принцессины волосы, дубленочка, мехом отороченная и вышитая, распахнута, бесстыдно задрала левой ручкой коротенькую клеточную юбочку и чешет щелку. Голые ножки (носочки только) просматриваются до самого соединения, до щелки.

И так это все жутко волнующе – эти голые, очень выпуклые ножки, чарующе-серьезное личико с подпухшими губками. Боже мой! – все во мне заныло… А она спокойно чешет щелку. Дали зеленый, и они проследовали. Я оглянулся – уносилась вскачь с ранцем за плечами, опираясь на руки двух мальчиков…

Реклама:

Прежде чем люди в самолет садятся – через таможню все идут, и электронные двери свистят беспрерывно – у всех калькулейтор-спешиалист в кармане или в сумочке. Девушки, юноши, старики, черные, белые – все имеют.

– Я ебал ваш калькулейтор – ничего считать не буду!

– Я ебал ваш калькулейтор – ничего считать не буду! – пропел вдруг я громко и согласно и подпрыгнул даже в ответ на эту рекламу. Ну, на меня они не рассчитывали.

– Эй, перевозчик! Перевези меня на тот берег Бродвея – я еду купить немного соли для моей семьи. У нас двадцать восемь человек – трое соли совсем не едят.

И ступил ногой на мокрые, плохо обработанные доски парома. Кое-как наладили паром сообща несколько семей с правого и левого берегов. Вот уже и «Спички – Соль» видно. В камнях-развалинах приютилась. Солнышком освещена.

– Принесите мне букет, Розали – когда Вы будете идти ко мне.

Я тотчас верну Вам деньги. Купите мне голубые ирисы, потому что сегодня у меня дико болит правое легкое.

На студеном ветру ледяном
Стынет желтая бритая щелка китайской
красавицы.
– Наползай, наползай на мой синий член,
слегка червивое мясо…

Как была ты прекрасна у трех сосен,
Когда начинается ветер.
Я грущу. А ты уже умерла.
Груди-шары унесла.
Спокойно-спокойно через желтую землю. Наш катится ветер.
Нет тебя на моем хую. Пуст член.
И только припадок пейзажа.
Да кусок глаза.

– так написал, глядя на китайский рисунок.

Хорошо в мае, в замечательном влажном мае быть председателем Всероссийской Чрезвычайной комиссии в городе Одессе, стоять в кожаной куртке на балконе, выходящем в сторону моря, поправлять пенсне и вдыхать одуряющие запахи.

А потом вернуться в глубину комнаты, кашляя закурить, и приступить к допросу княгини Эн, глубоко замешанной в контрреволюционном заговоре и славящейся своей замечательной красотой двадцатидвухлетней княгини.

Когда-то садился на велосипед и плакал. Хмурое черное небо, апрельский полдень.

Грустно и тогда, когда в марте-апреле нет денег и идет снег. Как сейчас. И облупленные здания Бродвея в окне, и ты переселился – четвертый день живешь в грязном отеле один, уже второй год без любви. И двадцать пять центов на телефонные звонки. А еще грустнее, когда тонко-тон ко потянет горячим железом от внезапно затопленного радиатора. И как расплачешься тогда…

Сухо щелкает утюг, идет длинный снег. О, какая отрава эти весенние дни! И не прижмешься щекой к телу своего автомата. А ведь легче бы стало.

Возьму я рыбину – положу ее на скалу, отерев предварительно скалу ладонью, – и стану есть рыбину, погрузив в нее руки. Копченая рыбина хороша. И бутыль вина белого со мною. И солнце голову мою печет добросовестно. И птички поют. И сердце чему-то радуется, хотя чему

радоваться, а вот видно и этой малости ему достаточно – вино, рыбина, солнце, и птички поют. Хорошо еще, что я не виконт или маркиз. А то и вовсе было бы невыносимо хорошо.

Пойдем купаться. Вода теплая. Окунем наши тела в озеро. В озере нет тревоги, какая есть в море и океане. Полежим в хлипкой воде, хотя тяжелее будет нам плавать. Повернемся на спину – увидим медный закат и тяжелые облака. И вспомним прошлое и заплачем в воде. А по берегу пройдет человек с сумкой или, может быть, с мешком.

Пойдем – искупаемся по отдельности и в разные дни. Ведь мы с тобой давно уже не муж и жена. Просто была у нас общая юность.

Бедный мой. Милый мой. Сонный. Вспомни штурм Ботанического сада, когда пули сбивали ветки веерной пальмы, из жирного алоэ прямо на лица раненых брызгал сок, убитых ребят осеняли голубые пинии, и среди всеобщего жаркого ада то и дело появлялась сумасшедшая контесса Эва Гонзалес в белой шляпке и разорванном в клочья белом же платье. Вспомни, как мы ее гнали и как орала павлинья ферма, прошитая случайной автоматной очередью. И ветер пах гарью и цветами. И мы знали, что нас перебьют неизбежно и что новый 1933 год будет всходить без нас. И вновь отстроят здание пограничной охраны…

А ветер Ботанического сада, я говорю, пах цветами, тропическими цветами и гробницей. И иногда наши парни отклеивали усы, тщетно спасаясь бегством в глубоких деревьях или в костяном бамбуке.

И я помню некоего Карлоса Акуна с накрашенными синей помадой губами, истерически смеющегося над своей оторванной рукой. О, запахи Ботанического сада!

Наши раны гнили, как бананы.
Как бананы, гнили наши раны.

Морда у нашего Лимонова широкая. Фигура стройная – солдатская А на старых фотографиях гляделся как Иисусик. Хлюпик, знаете ли. Интеллигент. Поэт. «Поэт со стеклянными крыльями», как один старый мудак о нем пренебрежительно отозвался.

Теперь над теми фотографиями Эдуардо раскатисто смеется.

Если в теплый сырой вечер внимательно подкраситься у зеркала, надвинуть на глаза лиловую шляпу, надеть высокие черные чулки, черный пояс-паутинку, кружевные трусики, нелепо развевающееся и висящее платье и пойти гулять, помахивая сумочкой, можно вызвать и в теле и в душе женские ощущения. И еще если встретить грустного красношеего матроса с одинокого корабля. А у него невероятно синие глаза.

Лают борзые. Кричат кони. Храпят олени…

А у нее такой круглый порочный лоб, такая мутная сумочка, и джинсы, и рубашечка девочки-шатуньи. Есть такие на обеих берегах нашей Великой Империи – и здесь, и в Калифорнии. Там приляжет, здесь присядет девочка, там закусит, здесь покурит…

В отсутствии короля (когда он был на охоте) королева говорит, что скучала, но ей не верит никто. Придворные вежливо покашливают, король хохочет – все ведь знают, что королева ужасная шлюха. Все, конечно, за исключением забившегося в угол картины шута. Он же тайный влюбленный и автор романтических гимнов. Дворец и его обитатели безусловно знают об этой страсти, а королева ужасная шлюха, и у нее круглый лоб.

Сесть бы, еб твою мать, в хорошеньком прелестненьком ресторанчике, ножку на ножку закинуть и кликнуть слуг. А при том девочек красивеньких и голодненьких привезти. «Эй вы – ебаные в рот, – сказать слугам литературно, – видите девочек? Накормить девочек икоркой русскою, водочки, виски да соков им принести. Я их потом танцевать повезу. И чтоб живо, и все лучшее и дорогое, и за качеством уж прошу проследить! У них желудки нежные. Ежели что, расстреляю каждого (сколько вас тут есть?..)… пятого».

Вот это удовольствие. А приехали на бронемашине, не просто так, и она у дверей пыхтит, и пулеметы торчат грубо во все стороны. И водитель, между прочим, из Бразилии.

Нож у меня всегда в кармане. Иду по улице, а он в кармане раскрыт, лезвие могу погладить, домой прихожу – сажусь за стол – два ножа у меня на столе лежат – когда пишу чего, машинально ими играюсь. Спать ложусь – еще один нож – главный, самый большой под подушкой у меня – так что вся жизнь ножами окружена.

Не столько для сохранности, что с ножом против этого мира сделаешь, сколько для удовольствия нож видеть и щупать. Револьвер другое совсем дело – револьвер только решения требует, нож же храбрее.

А если рассуждать прямо, был я и остался преступный парень с рабочей окраины: чуть что – за нож. Как взгляну на фото, где мне девятнадцать – кривая усмешечка, жестокие глаза и губы – носа постановка – сразу и понятно – потому и нож. А Вы говорите…

Разве я изменился? Очки надел да волосами оброс.

Некого мне сейчас ебать – ребята! То есть есть, их два объекта, да не люблю я их. Стыдно их ебать, хотя иногда ебу накурившись или напившись, себя потом же ругаю. Честно говорю – некого сейчас ебать. Не вру, видите, не делаю из себя картинку.

«Хуй!.. – деточка моя. Безработный мой – неотъемлемая моя часть. Бедняжка! Жил бы сепаратно-раздельно с умной головушкой доброго молодца Эдьки Лимонова – то-то был бы доволен».

Предки мои, очевидно, землю любили. Как весна – так тоскливо, маятно, пахать-сеять хочется, землю рукою щупать, к земле бежать. А ведь был бы я наверняка мужик хозяйственный, строгий. Бабы любили бы и боялись, сыновья и соседи. Округа. Богатый бы, верно, был. Два раза в год бы только и напивался, для порядку. Чего ж судьба меня в Америку, в отель на Бродвее завела.

Пойдем в храм. Прокрадемся. Свечи зажжем. И согрешим. Не то что я там лягу на тебя, или что другое, а сделаем дешево и порочно, как в порножурналах. Ты станешь, положив руки и склонив лицо и плечи на кафедру, а я откину твое черное пальто – белый твой круп обнажится, от вида этой стареющей влажной белизны я совсем закачу глаза, ты присядешь, и мы с некоторыми усилиями поместим член в колодец и поплывем. И сопровождать нас будут мягкие пассаты и взоры нашего Бога, и вся внутренняя каменная и деревянная пахучая красота… И охи и вздохи, и свечек блистанье, и где-то в закоулках ощущение – это елка, это Новый год, это детство, и мама изготовила сладкие пирожки. И ты их ешь, и тепло желудку. И это их ешь ты в последний раз.

Мы расстреляли сестер, как полагается, на утренней заре. Трое моих друзей хорватов, и австриец из Шестого Интернационала, и представитель итальянских ультра Кастелли, японец Иошимура, и как чрезвычайный уполномоченный Лиги Уничтожения – я. Мы устроили расстрел в стиле начала двадцатого века. Мы выбрали усатого Божимира, и он зачитал приговор. Горные кусты уже раздирал край солнца, когда эти женщины упали в росистую траву. Мы стояли против них, как на всех классических картинах, – цели мы разделили – на троих приходилась одна сестра.

Я не совсем сейчас уверен в необходимости смертного приговора, но, может быть, нас обязывала суровая горная страна. Может, будь это в приморском городочке, где взвизгивает и брызжет вино, и танцуют в кафе под пластинки, не было бы расстрела, а совершилось бы только насилие, и то, подозреваю, не в групповом смысле. Я, как представитель Лиги Уничтожения, всем этим товарищам главный ведь был.

Впрочем, до расстрела младшая еврейка была приведена ко мне и была, лежа в белых тряпках, весьма хороша. Когда же я стрелял, я целил ей в это место. Хотя и без того о моих странностях ходят слухи, но удержаться не мог.

М.Ш.

Если я улягусь спать, я завернусь в свиной жир, и бараний жир. И будет мне не холодно, только не зарасти бы. Прежде чем садиться – постелите на сидение тонкий листок мяса. Опояшьте мясом чресла, чтобы скрыть наготу. Когда износится, сбросьте, возьмите другое мясо.

Положите под голову жирное, пухлое мясо.
Повесьте на стену мясо в раме.
Писайте кровью.
(И не расставайтесь с ножом!)
Медсестра сидела в углу.
Поль стоял у окна – улыбался.
Жан стоял у двери – улыбался.
Пьер стоял у стены – улыбался.
Медсестре стало страшно от их улыбок.

Двенадцатый муниципальный госпиталь в городе Арле открывается для приема посетителей в шесть часов утра. Больным приходят в головы странные фантазии – Общий Генеральный Совет Больных, их профсоюзное начальство проголосовали единогласно, и госпиталь открывается включением во дворе фонтана – даже зимой, в шесть часов утра. В двери входят ранние посетители – их не изобразишь словами. Следует видеть их лица – выражения этих лиц.

Русская газета пахнет могилой и старческой мочой. Все убого и жалко – старомодно, от объявлений до статей и стихов. Даже рецепт тети Моти – что бы вы думали? Ну конечно, «Постный перловый суп». Что может быть гаже и беднее! Не гусь, не утка, не просто здоровый кусок мяса, а постный перловый суп. Вот какие мы убогонькие, серенькие, замученные жизнью.

Некая К. Мондрианова просит М. Полштоф сообщить ей свой адрес. На хуя, хочется мне спросить, на хуя, чтобы вместе тоску зеленую разводить? Им бы по отдельности держаться или с мистером Смитом и мистером Джонсоном встретиться – веселые здоровые ребята, а они шерочка с машерочкой адресами обмениваются.

Умершие поручики и вечные корнеты. «В старческом доме, волею Божею тихо скончался лейтенант Б.». Далее куча всяких родственников и «дядя Миша», которого почему-то выделили, скорбят. На самом деле рады безумно, напились, наверное, от счастья, что 89-летнее (!) растение наконец ушло в мир иной, измучив всех родственников и опустошив их карманы.

«На 80-м году жизни скоропостижно скончался денщик Колчака», того самого адмирала, чьи адмиральские щеки скребла лошадиная бритва у Мандельштама в стихах уже более 60-ти лет назад.

Скоропостижно – это в 80-то лет! Когда же не скоропостижно – в 120, что ли!

Объявление: «Делаю маленькие электрические установки».

Почему маленькие делаешь, а, друг? Делай большие, как весь мир, как американцы, французы, другие люди.

Кто-то просит «даму в меховом манто вернуть пакет с марками, ошибочно взятыми 11 марта». Дама, родненькая, не отдавай ты им марки, прикупи еще конвертов, не поскупись, вложи внутрь листок бумаги с единственным моим криком «А-а-а-а-ааааааааааааааа!» и пошли это во все страны мира, на сколько марок хватит.

Хорошо убить сильного загорелого человека – твоего врага. И хорошо убить его в жаркий летний день, у соленой воды, на горячих камнях. Чтоб кровь окрасила прибрежную мелкую воду. При этом самому быть раненным ножом в бедро, и, хромая, исчезнуть в прибрежных горах. Идти, вдыхать ветер, пахнуть потом борьбы, кровью, порохом, залезть глубоко в заросли полыни да и заснуть. А проснуться – ночь, звезды, черное небо и внизу огоньки городка, куда спустившись найдешь и вино и мясо и танцующие под аккордеон пары…

И спускаешься постепенно. «Адьез, адьез Сан-Хуан», – звучит навстречу хриплый голос.

«Живы мы еще – Эдуардо, – думаешь, спотыкаясь о камни… – Живы, – говоришь себе, ликуя. – Ой живы!»

Вечер. Проститутки облизывают губы. Я облизываюсь на них исподтишка, делая, впрочем, вид, что они меня не интересуют. У меня шестьдесят центов в кармане и только. И мне почему-то кажется, что я древний египтянин. И влечет меня синяя бездна ночи, и, как зачарованный, не отвожу воспаленных глаз от проституток – не отвожу, щупаю взглядом их ноги, слежу за их синими языками. Люблю, значит, порченое, подгнившее. Так выходит.

Дома. Возбужден. Сейчас выброшу старые штаны, привезенные еще из России, ну их на. Все-таки действие.

Потрясающе! – город Мучачу захватили пигмеи!

Четыре фута ростом – лаконично сообщает радио.

Я очень обрадовался. Приятно, когда город Мучачу захватывают пигмеи.

Догадались ли они изнасиловать там всех больших женщин, а город поджечь?

Часто наш писатель выходит на улицы с очевидным намерением продаться кому-то или просто переспать с первым встречным – женщиной или мужчиной. Из-под французской кепочки торчат любопытные глаза. Изящен. Смуглое лицо. В лиловом.

– Лапайте меня, лапайте – прикасайтесь ко мне. Я пойду с вами куда угодно. Мне от прикосновений хочется умирать, млеть.

– Нет у меня морали, нет у меня ничего. Я ласки хочу. Ебите меня, или я буду. Ты – седенький, возьми меня с собой. Я хороший. Я совсем как мальчик. Я русский писатель. Или вы – леди. У меня зеленые глаза, и я доставлю вам массу удовольствий.

Была невероятная гроза. Он выключил свет – лег загорелый и голый в постель, забился в самый угол и с удовольствием лежал. Окна были открыты, из Нью-Йорка приносило запах свежей зелени и дождя. Он впервые почувствовал острое удовольствие от того, что одинок, что отель, где он живет, – дешевый и грязный, что населяют его алкоголики, наркоманы и проститутки, что он не работает и живет на нищенское стыдное пособие по социальному обеспечению, но зато целыми днями гуляет.

Гроза неотразимо доказывала, что и в этом состоянии он счастлив. И он лежал, улыбался в темноте и слушал грозу, время от времени поднимаясь и в нее выглядывая.

Я всегда был бедным. Я люблю быть бедным – это художественно и артистично – быть бедным – это красиво. А ведь я, знаете, – эстет. В бедности же эстетизма хоть отбавляй.

Иногда мне кажется, что я ем голландские натюрморты.

Не все, конечно, но те, что победнее, – ем. Вареная неочищенная холодная картофелина одиноко и сладостно лежит на бледном овальном блюде, соседствуя с куском серого хлеба и неожиданно, безобразно зеленым луком и искрящейся солью.

Не поэт сожрал бы это на газете, впопыхах, грязными пальцами.

И не эстет так сожрал бы.

Я – употребляю вилку и нож – не тороплюсь, и потому трапеза моя похожа на удивительную красивую хирургическую операцию. Красивую и точную, только с тем различием, что операции проводятся в других тонах. У меня более приглушенные и туманные.

Я очень люблю быть бедным. Полдня решать – пойти ли в кинотеатр «Плейбой» на два фильма за один доллар, или фильмы недостаточно хороши, чтобы тратить на них так много. Или идти голодным где-нибудь в Вилледже, где из-за каждой двери тебя обдает новым особым запахом.

Я так люблю быть бедным – строгим, чистым, опрятным бедным тридцати четырех лет мужчиной, в сущности, совершенно одиноким. И люблю мою тихую грусть по этому поводу. И белый платочек в кармане.

Хочется написать о бархате и его тонах.

О дыме марихуаны, обо всех других дымах. Об утренней лиловой траве – ее заметил шофер, который привез труп в усадьбу для «медицинских целей».

Хочется испытать ощущения Елены после того, как она изменила своему мужу Эдуарду Лимонову и шла домой по Нью-Йорку, и садилось в это время солнце.

Хочется ворваться в зал Метрополитен-опера во время премьеры нового балета и расстрелять разбриллиантенных зрителей из хорошего новенького армейского пулемета. А что делать – хочется.

Но я подавляю, подавляю их – желания. Не очень-то получается.

Для шепота с оркестром

Я целую свою Русскую Революцию
В ее потные мальчишечьи русые кудри
Выбивающиеся из-под матросской бескозырки
или солдатской папахи,
Я целую ее исцарапанные русские белые руки,
Я плачу и говорю:
«Белая моя белая! Красная моя красная!
Веселая моя и красивая – Прости меня!
Я принимал за тебя генеральскую фуражку грузина,
Всех этих военных и штатских,
Выросших на твоей могиле –
Всех этих толстых и мерзких могильных червей.
Тех – против кого я. И кто против меня
и моих стихов!

Я плачу о тебе в Нью-Йорке. В городе атлантических сырых ветров. Где бескрайне цветет зараза. Где люди-рабы прислуживают людям-господам, которые в то же время являются рабами.

А по ночам. Мне в моем грязном отеле. Одинокому, русскому, глупому. Все снишься ты, снишься ты, снишься. Безвинно погибшая в юном возрасте – красивая, улыбающаяся, еще живая. С алыми губами – белошеее нежное существо. Исцарапанные руки на ремне винтовки – говорящая на русском языке – Революция – любовь моя!»

И летняя гражданская война
В городе горячем, как сон.

И руководитель восстания полулатиноамериканец, полурусский – Виктор, и Рита – женщина с прямыми волосами, и голубоволосый гомосексуалист Кэндал – все пришли утром в мою комнату и стали у дверей, и Виктор угрожает мне дулом автомата за то, что я предал дело мировой революции из-за тоненьких паучьих ручек пятнадцатилетней дочки президента Альберти – Селестины, ради ее розовых платьев и морских улыбок, ради ее маленькой детской пипочки и вечнозащипанных мочек ушей, ради ежей в саду ее папы, ежей и улиток на заборе.

Все это привело меня к сегодняшнему утру, и лучший мой боевой товарищ и бывший любовник Виктор говорит вполголоса страшные слова, истеричный Кэндал в тоненьком пиджачке не смотрит, а стремительное лицо Риты…

И долго плакала в постели маленькая Селестина, подрагивая голыми грудками, а отец ее – господин президент уже входил с танковым корпусом в столицу, и дрожали преданные западные предместья, и товарищей расстреливали во дворах.

Как ебаться сегодня хочется. Сунуть хуй глубоко-глубоко в эту щель – цвета мятой клубники щель – и пропади ты, мир, пропадом. Но какая страшная бездна будет после оргазма, откроется. Каким холодным и металлическим будет мир. И ничего не стоит приговорить к смертной казни кого угодно – а если ангела, так и еще возбудительнее.

Вчера в час ночи встретил выкатившуюся из ресторана личность в белом костюме и с темным небрежным полуразвязанным бантиком на шее. Он был очень пьян (покачивался) и артистичен. Увидав меня, встрепенулся, сделал полуоборот, взглядом уже уперся в мою челку… Но я хотел пи-пи, очень хотел. Я спешил. И я не остановился.

Но потом, когда сделал пи-пи в известном только мне открытом ночью холле дома на пятьдесят восьмой улице, – я пожалел. Эх, болван, нужно было пойти с ним и взять у него 54 доллара и купить завтра с утра те белые лакированные сапожки на Бродвее и прямо в магазине нацепить их.

Если вы сидите в мае в саду и плачете – это невероятно хорошо. Это кто-нибудь близкий умер, и вы жалеете.

И вышла незагорелая полная родственница в темном платье, и припухли глаза от слез. И вы берете ее за белую руку – приближаете, обнимаете и говорите: «Салли, родная, как горько, какая потеря!» И обнявшись – вы заливаетесь слезами.

А сквозь горе, от соприкосновения тел такое уже жуткое пробивается желание. И стыдное, и запретное, и неуместное. И она чувствует тоже. А особенно если это покойного жена. И закрыв глаза! с головой – оба в эту бездну.

И гроб с покойным со свистом ввинчивается в небо. Удаляется.

Я люблю, что я авантюрист. Это меня часто спасает. Вдруг дождь, и мне тошно и бедно, и плакать хочется, так подумаю: «Хэй, ведь ты же авантюрист, мало ли что бывает. Держись, мальчик, сам себе эту дорогу выбрал, не хотел жизнью нормальных людей жить – терпи теперь».

Тут и подправишься, кому-то позвонишь, овечкой притворишься, обманешь, глядишь – через пару часов уже в высшем обществе расхаживаешь, со знаменитыми людьми беседуешь, красивых женщин за руки хватаешь, проникновенными голосом чепуху говоришь. Слово за слово – бывает, утро в богатой постели встретишь, первые лучи сквозь занавески лицо щекочут, кофе тебе в постель несут. – А я водки хочу, – говоришь. Невероятно, но и водку несут. Кривишься, но пьешь – просил ведь.

Я люблю, что я авантюрист.

Сука я. И грустно мне, что я сука и никого уже не люблю. И не оправдание это, что любил. Курю и думаю упорно: «Сука, сука, точно что сука». И гляжу грустно в окно на почти итальянские облака над небоскребами. Кажется, кучевыми называются.

Роскошное летнее утро над Ист-Ривер. Я, сидящий на скамеечке в миллионерском саду, которому завидует молодой итальянец – дорожный рабочий, глядящий в недоступный сад через высокую решетку. Вот, думает, – сидит богатый парень и кофе на солнышке пьет. Ишь ты, думает, – падла – рано поднялся, в восемь часов утра на воду смотрит.

А я-то не по праву сижу в миллионерском саду. Не по праву незаработанный кофе пью, на чужую траву босые ноги поставил, изредка тела рядом сидящей девушки двадцати одного года касаюсь. Приблудный писатель, непутевый иностранец, клиент FBI, с опасными идеями поэт. Любовник миллионеровой экономки.

Это пароходное путешествие в маленькой каюте с нею осталось в памяти на всю жизнь. И утром тащил чемодан через весь южный город – чемодан с ее тряпочками – любимыми душистыми существами, и едва нашли машину в другой город, и мчались по горным дорогам с шофером в кожаной куртке, и по сторонам дороги вспыхивали дикие цветы, и низкое море мелькало на поворотах, и жизнь была как револьверная стрельба, как беспорядочная и жуткая револьверная стрельба.

Какие-то шоу, которые через полчаса уже никто не помнит. Глупые актрисы, развязные мужиковатые актеры. Идиотские фильмы – для рабов и людей с мозгами кошки. Пять разрешенных чувств, сорок рабочих часов в неделю, установки для кондиционирования воздуха, беседы с беременными женщинами, забастовки, коммершиалс…

И только родным и близким, нормальным, изредка повеет от какого-нибудь маньяка, изнасиловавшего одиннадцатилетнюю девочку. Только такие, оказывается, еще ценят и свежесть, и красоту, и несмятость.

Разбей только стекло. И заскочи в магазин.

Возьми все, что ты хочешь. Костюмы, эти прелестные трости, трогательные мягкие шляпы, лаковые ботинки и ласковые шарфы. Лавируя между цветами, задевая плечами листья пальм, отыщи вначале легкий, крепкий и изящный чемодан и складывай все вещи туда. В конце концов цинично нацепи темные очки, прикрой кудри шляпой и разбитной походкой вынырни из витрины. И пусть воет эта гадкая сирена. Очень вероятно, что ты успеешь уйти. Только не суетись.

Утром уже в каирском аэропорту – пей турецкий кофе – принюхивайся к нему и свежему сигаретному дыму и нахально гляди в дам. А девочки этих дам от твоего сорокалетнего взгляда тихонько писают в нижние штаны.

Распахнуть грудь. И – мамочка! Ленка! Родители!.. «Стреляйте, гады! – ласковые мои!» На яростной земле с мягкими боками. Блаженное и важное дело смерть. Руку протянет: «Идем, Эдинь-ка!» – взахлеб. И косой дождь вспомнишь на углу Петровки и бульвара. И мамочка! Ленка! Родители! Анна!… на чужой своей латиноамериканской земле. Грудью.

Придешь, бывало, от женщины к себе домой в отель утром, пропив вечер и проебавшись с нею ночь – талантлив, как цветок, – здоровый, возбужденный.

Элевейтор не работает, у самых дверей номера гадко пахнет – чья-то собака нагадила или человек. Придешь – злой, умненький, тараканы из ящиков стола врассыпную. «Ох, еб твою мать!» – думаешь, – и неожиданно как бы впервые обнаружив себя здесь, как рассмеешься… «Чем хуже – тем лучше. Ебал я ваш Нью-Йорк!»

Бутылки из окон слышно сыпятся. Чайки во дворе почему-то летают.

Молодые люди часто ленивы и работать не хотят. Ну, они и правы. Позже их прижмут, заставят. Но были правы. Что в работе хорошего, и чем тут гордиться? «Я работаю, я налоги плачу», – так всю жизнь и подчиняются.

Я лично только писать люблю, и то не всегда. А вообще предпочитаю ничего не делать. Размышлять. Чьи-то стихи вспоминать. На солнышке лежать. Мясо есть. Вино пить. Любовью заниматься или революцию устраивать. А писать – иногда.

Я не верю, что кто-то действительно любит восемь часов в день, пять дней в неделю печатать на пишущей машинке, или же рубашки для мужчин шить, или же мусор с улиц убирать. Одну рубашку сшить приятно порой, ну, страниц несколько отпечатать тоже возбудительно – ишь, умею, вон как ловко выходит. Но чтоб всю жизнь?! Не верю, и многое меня подтверждает. Женщина одна выиграла в лотерею – будут ей платить до конца жизни тысячу долларов в неделю. Так что, она сказала, сделает во-первых, что вы думаете? Конечно, «стап май ворк». Так что молодые люди неосознанно правы. Я за них, я их поддерживаю.

Идете вы опять утром через Нью-Йорк «домой» – в отель – размышляете – и встречаете нос к носу вашу бывшую жену. Худая, длинная, в штанах, пояс с огромной пряжкой, модные тряпки вниз все висят. Зубастая. Зубы передние переделала, не потому что плохие были, а для фотографирования не годились.

Губу верхнюю подрезала. Нос напудрен, шея напряженная. Наглая, но что-то стыдное в глазах.

Поговорили и пошли каждый своей дорогой. Идете дальше и думаете: «Эх Елена, Елена, не избежала и ты общей бабьей судьбы. А жалко, черт побери. Жалко. Жалко. Что-то не так ты сделала. Эдьку Лимонова бросить можно. Чего ж нет. Но что-то не так. Явно что-то не так…»

Больше всего не люблю старых богатых леди. За каждой какая-нибудь гнусность скрывается. Удачливые торговки пиздой. Посчастливилось. И с собачками их не люблю, и без собачек. И в магазинах их не люблю. И когда едят не люблю. Впрочем, и молодые женщины, когда едят – противны. Обычно они едят много и жадно – особенно после нескольких недель совместного секса" когда уже уверены, что вы свой – можно расслабиться – тут вы их и видите такими, какие они есть. Бедный мальчик – вы-то воображали… Принцесса… ангел – заглатывает куски мяса, как удав, мычит над бурым соусом, кутает губы в тяжелое красное вино, сладостно шипит смесью ананаса с кокосом – короче, совокупляется с едой.

Отели. Отели. Вся пятьдесят девятая Централ-Парк-Южная раззолоченная улица. Как-то ночью пьяная пара обнимать меня здесь стала. Я оторопел от наглости. Обычная реакция – в карман – за нож…

– Но они ж меня не обижают, – потом думаю. – А все-таки тела касаются.

Ушел от греха.

Они пьяные ли догадывались? Он? Она? Что стройный человек в кепочке, похожий на художника, вполне спокойно зарезать мог. Гуляй, буржуазия, да не загуливайся. И обнимать меня не надо. А то я злой.

Японский ресторан хорош осенью – в промозглую погоду. Горячие салфетки, подогретое саке. Когда дует норд-вест. И особенно хорош он перед покушением на жизнь премьер-министра, на последние деньги, в свистящем ноябре.

Централ-Парк. Июль. Два молодых бледнолицых в очках урода, один с длинным внимательным носом, суют друг другу листки с отпечатанным текстом. Я заглянул – сценарии… Будут, будут длинноносцы – добьются – со старыми шеями, в распахнутых с жабо рубашках и цепями из золота на старых веснушчатых сосисках-руках – будут в Голливуде. И будут ебать молодых глупых моделей и тех, кто желает в артистки. А рядом густо замешанная мексиканская семья размещалась с подстилками, детьми, термосами и сразу тремя транзисторами. Эти не будут.

И шел мимо я – красная сволочь – кудрявый, длинноволосый, с темной кожей и черными мыслями. Э. Лимонов – человек из России. И что удивительно – талантливый нееврей.

Как-то красил студию ювелира Франка, у него длинная итальянская фамилия. Поблизости вертелась очень живая его девочка, Элен, три года девочке.

«Мой папа Фрэнк – муж моей мамы, – сообщила она мне. – А у тебя жена есть?»

«Моя жена оставила меня», – говорю я ей, продолжая красить, сидя на корточках. «Это очень подло, – говорит дитя серьезно. И очевидно, чтобы развеселить меня, объявляет: – Вот, посмотри, как я умею прыгать. – Встает с пола и прыгает, отбрасывая ручки-ножки в стороны. – Это потому, что я легкая. Ведь я еще ребенок. Вот вырасту – уже не смогу», – поясняет она.

Я поднимаюсь, откладываю щетку и пытаюсь прыгнуть, как Элен. Очевидно, у меня плохо получается, потому что она смеется. «Ты тяжелый», – говорит она. Когда я спрашиваю, сколько ей лет (банальный дурацкий заискивающий вопрос взрослого, чтобы что-то сказать ребенку, отец ведь сообщил мне, что ей три), она отвечает, что уже имела три дня рождения. «А сколько тебе?» – спрашивает она. «Тридцать один», – вру я. (На самом деле тридцать пять.)

«Ты старый», – говорит она.

«Может, не очень?» – с надеждой спрашиваю я.

«Нет старый», – говорит, потупясь, правдолюбивый ребенок.

Потом она меня учит английским словам. «Повтори за мной», – сурово требует итальянская девочка, я повторяю.

В общем, у нас все о'кэй с ней. Мы отлично ладим и довольны друг другом.

М. Н. Изергиной

Пастораль

Из Бранденбурга красивая летняя дорога, по сторонам которой пышно разбросаны буковые деревья и платаны, ведет вас к Ораниенбургу, а там глядишь – недалеко и сонный город Винненбург.
За большими сонными озерами на окраине Винненбурга расположена долина с удивительными, нигде на свете больше не встречающимися сортами винограда «голубой бархат» и «Розали». У юго-восточного – единственного доступного автомобилю выхода из долины и находится гостиница «Приют для чудаков», которой хозяйка, фрау Мария, удивительно похожа на мадам Рекамье. «Вся жизнь – шутка», – часто любит повторять она в дождливую погоду, после чего с удовольствием исполняет известный старинный романс «Гори, гори, моя звезда».
Кто мог ожидать это – однако студент Савицки и еврейская девица Клейншток одновременно покончили с собой в прошлую пятницу – прошли через долину, напевая песни, и утопились в прудах – я имею в виду озера.

На всех пляжах быть прохожим. Всегда быть иностранцем – залетным гостем из другой страны. Не заводить даже книг и квартир. Вышвырнуть в гостиничный мусор десяток прочитанных томиков, и дальше – по секретным поручениям Чрезвычайной Лиги Уничтожения, переданным через агента – девушку в лиловой шляпе по имени Мадлен. Дальше и дальше, устраивая заговоры и порой собственноручно разряжая револьвер в розовые лица и животы приговоренных Лигой мужчин – обычно в возрасте от сорока до шестидесяти лет.

Раннее утро. Пришла соблазнительная тринадцатилетняя девочка – бэбиситэр. Обожженный солнцем нос. Белые волосы – длинные ноги. Встать бы из-за стола, бросить занудных взрослых и их разговоры, взять девочку за руку и уйти с ней в начинающееся утро. Она еще во что-то верит. Она еще любит просто так – за лохматые волосы, вольные мысли, за первый секс.

«Эх, ебаный в рот!» – говоришь с горечью в никуда, наедине с самим собой. Куришь часто еще сигарету. Или из угла в угол ходишь. Или в окно глядишь. «Эх, ебаный в рот!» И в этом восклицании больше смысла, чем в большинстве книг и даже в прославленной старой библии.

Мне это уже не интересно. Ну, женщина – голова, волосы, две руки, две ноги, ну, отверстие это между ногами – мехом-шерстью поросло. Ну и что. А ведь раньше я любил женщин – любил узнавать их, любил заниматься ими, любил их оргазмы, смотреть на их искаженные в этот момент лица любил. А теперь я оставил это простым людям и нахожу удовольствие только в борьбе против общества и обществ. Впрочем, вчера я был растревожен девочкой пяти лет. Нестесняющееся маленькое животное катилось на низком игрушечном велосипеде – растопырив ноги и выставив лобок. И там было розовое отверстие, как дырочка от пули. Пулевая дырочка.

Я не гадкий бессильный старик – женщины на улицах смотрят на меня с большим интересом, но пулевая дырочка была так непристойна, что я с ужасом отвернулся. Куда более непристойна, чем

показывающая свою развороченную пизду толстая проститутка, которую я когда-то видел в ранней юности.

Ужасное дитя.

Старик и дева

Старик воткнул член в деву и сладострастно раскачивается. Дева чувствует некоторое жжение, а от седых волос и мятой кожи испытывает большое удовольствие. Ей кажется, что она ребенок – девочка, и это очень нехорошо, что ее ебет старик. Оттого что это нехорошо – деве приятно. Она царапает коготками грудь старика.

Глупо плачущий юноша находится за рамой картины. Чего доброго, он покончит с собой. «Уймись, парень, – дева только бессмысленный цветок двадцати одного года». Парень унимается. Иногда – нет.

Кто это стучится в дверь? Да так себе, проходимец, писателишка. Эди Лимонов – пиздюк тридцати четырех лет. Созданье божье. Креатура.

«Да так, еще один русский!» – сказал большой любитель черешен Миша Барышников, когда его спросили, кто это. Мне это определение понравилось. Я и есть *еще один русский* .

Вдруг оказалось, что уже более двух месяцев он имеет секс с девушкой, у которой наследственный сифилис, можете себе представить. Это та – миллионерова экономка. Она ему объявила. «А если я уже имею сифилис?» – подумал он. Достойный размышления вопрос. Однако по крайнему своему безрассудному авантюризму вдруг понял (не без удивления), что и это ему интересно, и воспринимается им как захватывающий факт биографии. Ну и ну!

Потом выяснилось, что это был не сифилис. Какая-то незаразная зараза.

Ну, я хотел бы жутко возбужденных отношений между группой людей, конечно и женщин, в то время как корабль движется. И это просто путешествие куда глаза глядят.

Корабль удобен – потому что тогда не убежать. И в тесном месте отношения извращеннее.

А мельканье берегов, пейзажей и портов необходимо нетерпеливому человеку. Очень напряженная обстановка, которая разряжается только убийством. От крови все жмутся друг к другу как семья.

Близость

Девочка, которую я люблю, но не ебу, часто приходит ко мне в гости. Единственная близость наша – мой туалет. Когда ее визит долгий – она использует мой туалет. Она говорит: «Могу я воспользоваться вашим туалетом?» – по-английски. И пользуется.

Потом, после ее ухода, я сижу на том же месте и думаю, что тут она обнажила свою попку и все другое тоже было видно. И я возбуждаюсь.

Мир грязненьких фотографий, дешевого секса, десятиразрядных журнальчиков, мир спермы и крема, брошенных повсюду темных ваток, крошечных проституточных трусиков, бритых лобков, потных морщинистых шей. Ужасна стареющая модель поутру – примятые уши, запах всех этих мэйкапосмываний, тусклые глаза, отсутствие бровей и ресниц. И тело, столько раз мытое и вновь ебаное тело, несчастное тело уже по-старчески мягко, и если его тронешь – идет волной. И только из-под челки грустные, большие, детские коричневые глаза, недоумевающие «За что?»

«Выйду ли одна из дому.
Посижу ли на пустом пляже.
В толстой вязаной кофте, грея разнесчастную пизду, у которой период. (Бессмысленный взгляд в океан.)
Дождусь ли бородатого и глупого актера, моего любовника, с начинающимся животом.
За щепочкой ли послежу?
А ведь была девочка.
Верила в белое платье и свадьбу.
И все, все разрушила, и плакать хочется.
Все… все…»

Утро. Взглянул в унитаз на свое говно. Огуречные зернышки торчат из. Оказывается, не перевариваются. Открытие в тридцать четыре года совершил. Огурцы уже старые – зерна твердые. Осень.

Весть о приеме в саду этой знатной дамы докатилась и до меня – одинокого. Через газету. Там были те, кто не по праву владеет: красивые женщины, вышедшие в свое время замуж за бессильных уродов и щеголяющие теперь их титулом и деньгами.

Старики из искусства, переживающие своих куда более талантливых сотоварищей и потому считающиеся гениями сегодняшнего дня – заслуга их в долголетии.

Финансисты и бизнесмены, получившие от отцов по нескольку миллионов, а заставь их жизнь начать с грязного отеля – завтра умрут от голода и бессилия…

В общем, там были все, кого я ненавидел.

Женщина, которую ты хочешь. Девочка. И которую ты не встретил. Соль и перец все же в крови. «Все равно встречу, буду, буду счастлив! Опять по-иному буду счастлив!

И погибну в революционной войне. Не хочу быть старым говном на службе у этого общества, не хочу ебать кого попало, хочу ебать мою любимую!

Хочу любимую ебать!

Как сладко ебать любимую!»

Образ расплывается. Имейте терпение, господин. И придет она к вам, и наклонит перья шляпные… ох нет, простите, одетая в пехотную куртку хаки. Как сладко ебать любимую!

Маленькая девушка, позвонившая в дверь виллы немецкого банкира. Старый задумчивый Рейн несет свои воды в зелени.

Аккуратно и скушно жить.

И ничто, кроме пули, не разорвет воздух.

И прекрасно свалиться банкиру под дверь, закивав головою, под ноги молодой суке жене.

Что ни говорите, кончается август, и листья с миллионерского плюща на «нашем» домике начинают спадать. Серые и сухие, они лежат на террасе на железных стульях.

Я не могу долго думать на эту тему, ясно, что в листьях мне только знак дан – изменения знак, знак вопроса – «а ты?» Ну и я. Уже не тишотка, но рубашка, уже не двухлетние босоножки, но сапоги. В косматых волосах – седина, и озлобленное лицо дикой крысы, причудливо смешавшееся с остатками поэтической мягкости и обаяния. Что поделаешь – это я.

Быть человеком – ужасно глупо.

Увидел: в кустах Централ-Парка что-то шевелится – небольшой черный зверек – то ли птица, то ли крыса. Гляжу, интересуюсь, кусты разгребаю, суечусь, то с одной стороны забегу, то с другой, минут пять истратил. А потом подумал: «Какого хуя, мое дело пиздовать себе в отель, не хуй интересоваться!»

И ушел.

Посещение этого сумасшедшего стоило мне крови. Он оказался толстым – с животом и ляжками. Полупарализованный, ездил по светлой студии в кресле.

Характерный чертой его безумия была измельченность сознания. Он заставлял меня поднимать и опускать слои писем и рисунков на его столе (желтых и покрытых пылью), по-полицейски следя за тем, чтобы порядок (хаос) их положения не был нарушен. Один раз мне пришлось дотронуться по его требованию до двадцати шести бумажек, прежде чем он удовлетворился и получил нужный розовый клочок. Впрочем, он тотчас приказал мне положить его обратно. Из других подвигов сумасшедшего – он надевал мои очки и пытался подарить мне свою телефонную книжку.

Сумасшедший был очень сентиментален – он постоянно вспоминал своих многочисленных жен – выходило, что все упоминаемые мной или им женщины были его жены.

Многие рисунки сумасшедшего (он рисовал) были мазней и хаосом, но некоторые – особенно желто-зеленый портрет с двоящимся лицом и рождение Венеры из морской пены – поражали своей нервной силой.

Я едва выдержал два часа с этим сумасшедшим. Именно с этим. Мне показалось, что он чем-то похож на меня. Других я переносил спокойно. Цель моего визита: я приносил ему щи – сумасшедший был сыном русских родителей.

За тоску отельную, за одиночество полное, за собачье дерьмо под дверью, за одинокий телевизор всю ночь, за недоступных благоухающих красавиц, встреченных на улице у дорогих магазинов, за жизнь без улыбок, за все другие прелести с миром рассчитаться хочется сполна.

И не так, что взял ружье, на крыше засел и прохожих стреляешь. Они не виноваты – сами жертвы. А вот систему эту с грохотом обрушить, камня на камне не оставить – все учреждения раздавить до боли в желудке хочется. Как по свежей весенней травке босиком походить.

И чтоб никто перед другим преимуществ материальных не имел. И чтоб ни актеры, ни певцы, ни президенты больше других людей не имели. И деньги эти отвратные уничтожить все. И банки сжечь дотла. И уйти из Вавилона этого, пусть травой порастет, обвалится, разрушится, и океан его пусть слижет.

Когда видишь утварь умершего человека, то понимаешь, как глупо все это заводить. Штуки и штучки, вещи и вещички, журналы и журнальчики – все осталось, и многое вышвырнуто на улицу – пошло в мусор.

Самое ценное взяли наследники – а вот эти письма не взяли. Письма с расплывшимися словами. От любимой женщины. И только любопытный грустный парень вроде меня станет у открытого мешка с мусором и эту чужую золу перебирает.

А то еще брюки и пиджаки мне с одного аукциона, от мертвых оставшиеся, приносят задаром. И долго я над ними размышляю. Потом перешиваю, конечно.

Из всех моих собираний цветов ярко помню одно – в коктебельских горах.

Ранним утром ушел сразу после дождя собирать дикие тюльпаны. Добрался до нужного места в облаках и только в просветах облаков умудрялся выуживать из густой, темной, мокрой травы цветы. Не успокоился, пока в руках не был тугой свежий сноп. Был счастлив. Во всех Горах никого. И едва видишь тропинку в пяти шагах. Чертов Палец – скала, тоже в тумане, как ее и не было.

Когда вернулся – любимая еще спала. Поставил тюльпаны в воду – во многие вазы и улегся к любимой. Опять пошел дождь… И все это, увы, уже было…

Счастье – это то состояние, когда ты можешь любить настоящее. Не прошлое, не будущее – но настоящее.

Есть вещи, которые не припомнишь и не опишешь так, чтоб другие поняли. Например, голод, то невероятное озарение голода, до которого доходишь, если месяцами в нужде и недоедаешь.

Пылающая миска куриного супа превращается в солнечный круг, годами ее после помнишь.

Какие чудесные и кровавые ужасы являются в голоде. Какие казни и пытки придумываешь богатым и сытым, сталкиваясь с ними на улицах, когда в шубах и клочьях пара выходят они из ярко освещенных дверей ресторанов. И какое удовольствие, неописуемое для человека с улицы,

для человека с голодными глазами, если удается выебать богатую девушку. Где-то познакомиться случайно и выебать. «Я – плебей, – думаешь, – люмпен, а вот ебу тебя! Вот ебу и ебу!»

Это высший секс, если имеешь женщину выше себя, чистую, сытую, другому принадлежащую. Сейчас, когда вошел я уже в возраст, хочется мне частенько выебать ухоженную, начинающую полнеть даму из высшего света, почтенную мать и супругу какого-нибудь седовласого идиота.

Выебать ее грубо, не считаясь с ней, по-простонародному, без лишних прелюдий и ласк. Фройд,

Фрейд, Старый Зигмунд – когда появляется этот тяжелый зад из ее благоухающих тряпок, я забываю все, чему вы меня учили, и только месть, месть и месть: «Я ебу не по праву их женщину, их женщину!»

Говорят, черные мужчины испытывают это, когда обладают белой женщиной. Я не черный, но испытываю.

Ученье

Я затаился, в секрет ушел. Учусь. Сижу на кухне в миллионерском домике – прислугин друг и любовник – кто там меня замечает, жду моих времен, когда мой 1917 год грянет. А до тех пор комнаты помою, иной раз дверь подкрашу, где шуруп ввинчу, юбку сошью, брюки переделаю – подкармливаюсь. Жена лорда – гостья из Лондона – вчера мне комплимент сделала: «Какие у вас сапоги красивые». Хотел я в ответ сказать: «Какая у вас рожа ничтожная. И у вашей королевы тоже», – но смолчал. Не буду, думаю, зря обижать. Что она обо мне знает!

Приятель же этой леди или любовник, архитектор знаменитый, проходя через кухню за очередным дринком, мельком взглянул на мои руки и в восторг пришел: «У вас руки творческой личности», – произнес. Тут уж я не мог отказать себе в удовольствии и с осторожным, понятным только мне ехидством сказал: «Может быть, разрушительной личности, кто знает?»

Так я хожу среди врагов, учусь, молча, тихо в уголке сижу, рот особенно не открываю, слушаю больше, жду, когда в силу войду. Вот тогда поговорим. Ученье у меня сейчас.

А у леди из Лондона даже свой слон есть. Я фото видел – она на слоне сидит. В Лондоне.

Осень. Холодно сделалось. А в отеле поднимешься на свой этаж – грязно, тепло и запах пизды. Даже уютно. Проституток здесь много живет потому что.

Идешь по улице, кепочку надвинул, бархатный пиджачок обтягивает. Стройненький весь – встречаешь частые женские взгляды. Знаешь почему – вид у тебя европейский, лицо тонкое, чем-то как бы и измученное. Женщины любят это. И все же благами своей привлекательности воспользоваться не можешь – жилье у тебя страшное – грязный отель. Вряд ли какая женщина в такое место пойдет. И денег у тебя нет. Даже выпивкой угостить женщину, стаканчиком, не можешь. Бредешь дальше.

Опять нужно ждать – если книгу продам – деньги хоть какие малые появятся. А до тех пор сиди и жди, и довольствуйся тем, что бог послал – всякими страшненькими или с дефектами. Ну, иногда, случайно, и что-то редкое бывает. Говорите после этого о справедливом устройстве общества. Справедливо будет, когда секс от денег зависеть не будет:

– Здравствуйте, мадам. Я вам нравлюсь? – Да.

– А вы – мне нравитесь. Сколько у вас денег?

– Три тридцать.

– А у меня два шестьдесят. Пойдемте купим вина и отправимся в мой грязный отель.

И отправились.

Неопознанное тело в водах Лонг-Айленда. Сырой осенний туман над неопознанным телом, лижет белые пятки неопознанного тела.

Кто она была? с простым ли лицом сидела в ресторане, звонко разговаривая, стлалась ли тенью перед жилистым мужским животом – кто знает. Боже мой, и чего ты наши бедные тела стегаешь, чего морозишь, пронзаешь острым и бьешь… Иногда не бывает крови, но часто застынет липкая…

Осенняя земля, перебитые лопатой корни растений, молодая мертвая рука в мокрой луже с песком. Свитера коттоновый рукав. Плещется тело с монетками в кармане джинсовой юбки. Не вывалились – нет. Так разглядываю, прости, как любимый разглядывает любимую. Погода стоит хилая, топкая, и плещется тело, набегая головой, волосами или набегая левой рукой. И еще океан, океан грязноватенький.

Человек я ужасно любопытный. Помню, одной собаке лизать свой член все совал. Двадцать четыре года мне тогда было. Зима, на кушетке красной я сидел.

Но собака не очень-то хотела, лизнула пару раз и все.

Всю мою жизнь член мой мне покоя не давал.

А в том доме, кроме собаки, еще одно искушение было – тринадцатилетняя дочка хозяйки. Помню, дрожащими пальцами измерял расстояние между одной и другой грудью – блузку ей белую шил. Мамаша присутствовала. И моя тогдашняя жена тоже. Глазели.

Блузка для какого-то пионерского праздника предназначалась.

– Мамочка! Какое ликование в окне!

Революция, мамочка, пришла – пышная, праздничная!

С цветами, с ветками. Радость-то, мамочка! Счастье-то!

– Айда, ребята, на улицу! Там Революция как Христос в наш город пришла. Там у богатых отбирают и бедным дают, там столы накрывают и люди всех видов обнимаются. Там хорошо и песком посыпано…

Румяные щеки начинающей стареть женщины, шея в складках морщин – дико сексуальны.

Хулиганская, косо надетая кепка на голове. Еще красивая, крепко для дождя и ветра одетая, куда-то едет она в автобусе. И туманно глядит на меня сидя, на уровне пояса, я-то стою перед ней. Изредка поднимет голову, взглянет и криво усмехнется из-под кепки.

Я знаю, *что* она видит. Брюки у меня всегда такие тесные – чуть не лопаются по швам, и, если член встает, это ужасно видно. А от ее румяных щек и морщин на шее он встал и стоит.

Ни я не стыжусь, ни она. Даже близость теплая возникает. К сожалению, бас сворачивает с пятьдесят седьмой улицы на Пятую авеню. Мне выходить здесь. Меня ждет нелюбимая женщина. Мы в последний раз улыбаемся друг другу. Прощайте, кепочка…

Покидая женщину, которую я не любил, на углу, на ветру, в слезах, выбежавшую за мной даже без обуви, я почти плакал сам. (Это та, миллионерова экономка.) Но ушел все же грубо и зло, с нежными и жалкими мыслями о ней внутри.

Дойдя до Второй авеню, вдруг не выдержал и разрыдался под ужасный свет автомашин, сворачивающих направо, натянув свою кепку глубоко на брови. Оставленная своей раненой позой и несчастьем напомнила мне маму, робко махавшую мне в харьковском аэропорту, единственному сыну, уезжавшему навсегда, которого она больше никогда не увидит. Боже, как я жесток!

Что нас гонит, почему не сидим мы с любящими нас в тепле, заботе и счастье. Прости меня Христа ради, экономка, – а?

Левая сторона Линкольн-центра живо напоминает мне кладбище. Черные каменные скамейки, ровные ряды деревьев между ними и над ними. Поразительно темная листва деревьев еще более усиливает сходство с кладбищем, хотя никаких стоячих плит.

Иногда я прихожу и сажусь в сторонке на октябрьском солнышке, думаю о людях и вздыхаю. Чаще всего мои мысли грустные и задумчивые. Мне тридцать четыре года, и я начинаю от человеческих отношений уставать.

Сегодня на каменной плите у ножки скамейки валяется вишенка – ягодка. Я оглядываюсь по сторонам, протягиваю руку, хватаю ее и ем. Вишенка оказывается яблочком, знаете, мелким, райским. В это самое время опять появляется было скрывшееся солнце. Какие же вишенки в октябре.

Мальчики легче переносят лето, чем девочки. Девочки же чувствуют лето всем животом и внутренностями. Для девочек лето липко, им очень тяжело летом упираться своему телу. Они тревожны, пугливы, и нервная система опутывает их прямо поверх одежды. Им все время кажется, что их забивают насмерть яблоками или что их купают в горячем желе из насекомых. Существует опасность щекотки или заползания везде куда не надо. (Вообще женское всегдашнее состояние – как будто они каждую минуту жизни собираются чихнуть.)

Страшно быть девочкой летом. Поскольку я это чувствую, то я сомневаюсь, кто я больше – мальчик или девочка. Притом я твердо знаю, что я странноватый мужчина тридцати четырех лет. Несколько изящный, французистый, с неорганизованной сексуальной жизнью.

Мы пришли ко мне в мой вонючий отель – разделись, и вдруг я ее так обнял, так обнял, с такой нежностью.

Бедная, затрепанная в свои двадцать шесть лет девочка, в бесконечных поисках любви, как мы устали!

Я гладил и ласкал ее всю ночь, воображая, что она моя дочка. Моя бедная маленькая дочка. К тому же она была худенькая и небольшого роста. Вот и у меня сегодня все как у людей, семья вроде, тепло вдвоем в октябре под грубым солдатским, с буквами US, одеялом.

А утром солнце влилось в окно и распласталось на одеяле. Что-то забормотав, мой ребенок перевернулся, прижался ко мне и опять уснул, засопев. А ведь у нее репутация отчаянной бляди.

Высокомерные богачи. Скачут на лошадях, одетые в специальные красивые костюмы. Стоят в вечерних одеждах на фотографиях в журналах, от ушей, шей и пальцев блестят бриллианты – они прекрасно острижены. Сидят за белоснежными столами. Защищает их армия, полиция и наемные телохранители. А мы, голодные, с завистью глядим на них. Погодите же!

Если вы любите деньги – то отчего бы вам не заняться фальшивомонетничеством. Такое длинное слово принесет вам немалые плоды. Успешно подделывая, вы сможете путешествовать, влюбляться, жить легко, останавливаться в белых отелях, не заезжать в нордические зоны слякоти и пурги. С этим ремеслом можно спокойно тыкать аристократическим пальцем в глобус – поеду сюда, нет, поеду лучше сюда. Вы разовьете в себе капризность, много времени будете уделять наукам, вам возможно будет превратиться этим путем в астронома или же моряка.

Я люблю черный перец, духи и ликеры, и запах маленьких экстремистских газет, которые призывают разрушать и ничего не стоить.

В настоящее время я влюблен в молодого Z. Я познакомился с ним на одном немноголюдном собрании. Он носит английскую шляпу, пару лет как приехал из Англии, он беден и очень красив. Он талантлив и пишет статьи как поэт. Одно его место – где улитка ползет по рукаву и бабочка села на шею мертвого герильеро, я запомнил и повторяю: «улитка ползет, и бабочка села», и нос у мертвого в цветочной пыльце.

В меня же влюблен фотограф. Как-то утром, уже на рассвете, после ночи в большой дискотеке я сказал, что не хочу с ним ебаться, что я вздорный и очень капризный, и вообще перешел на женщин (что было отчасти правдой), и очень желаю спать.

Если вы в кого-то влюблены, то как вы можете ебаться с другими? А вот фотография с меня в его туманном декадентском стиле мне нужна.

Дискотека

Непутевый ты, Эдька, человек, испорченный. И город, где живешь ты, выбрал его, похож на Содом. Сильно смахивает. Гнилой городишко. Оно конечно, вчера в дискотеке было хорошо тебе, весело, но если иными глазами посмотреть, что получается, а?

Словно из феллиниевского Сатирикона персонажи все. Прически аховые, разнообразные, личики блядские и отпетые, раскрашенные, все – обее-го пола на каблуках возвышаются. Один черный и штаны снял, танцует в белой майке, задницу закрывающей, и неизвестно, есть ли у него под майкой трусы. Правая часть зала – гомосексуальная, кое у кого губки подкрашены, мальчики и мужчины обнявшись танцуют, любящими глазами друг на друга смотрят, лижутся. Один в белом специально просторном костюме, черной рубашке, с белым шелковым шарфом на шее, другой в миниатюрных трусиках, с мокрой от пота шерстяной грудью, третий…

Музыка оглушительная, омарихуаненный воздух жарок и дик. Все курят не скрываясь. И пьют повсюду. Толчея ужасная.

Девицы в порочных нарядах всех эпох и народов непристойны и притягательны. Многие в одних только чулках. И ты, Эдька, тут. И так же прыгаешь изломанно, нездорово, и марихуанки уже потребил, и усталости в тебе нет. А женщина, которая с тобой, хотя и моложе тебя лет на семь, стара для тебя, видно, что устала. И вы идете домой не в шесть, когда закрывают, а в четыре двадцать. Для этого места совсем молодая нужна. Не старше двадцати, выносливая.

Ой, погибнет наш Рим, неспроста лесбиянки-красотки, нежные девочки трутся друг о друга животиками, на мальчиков не глядят. В цветном свете мигающем лица чудны и животны. Кровушки только здесь не хватает.

Если ты и философ – пойди в дискотеку, да не стой как пень, танцуй, кое-что узнаешь.

В ту ночь я увидел там и свою бывшую жену. Стояла в белой шляпе, в окружении свиты из черных парней (один был в блестящем плаще), и курила из черного длинного мундштука.

А ведь любишь ты все это – Эдинька!

Каюсь, хотелось мне, остановив музыку, объявить: «Ребятки! Автоматы будут выдаваться у выхода через десять минут. Объект – Пятая авеню. Комнадовать буду я!»

Ой, повалили бы…

Машина движется по парквею. Это штат Нью-Джерси. Я пью прямо из горлышка бутыли дорогое итальянское вино. За рулем – миллионерова экономка. Помирились. А что делать – и она мне нужна, и я ей нужен.

Яркие пятна осенних растений бьют в глаза. По моей просьбе машина останавливается – я отхожу пару шагов в лес, и расстегнув свои белые штаны, пускаю струю, одновременно замечая, как ненормально много ядовитых огромных грибов в лесу.

Закончив со струёй и спрятав член в штаны, я отрываю один огромный гриб и несу его миллионеровой экономке как иронический подарок. Она злится, а я хохочу при закатном солнышке над широким штатом Нью-Джерси. У нас почти отношения любимого, ко пакостного сына и любящей страдалицы-матери, хотя я старше ее на двенадцать лет.

А едем мы в какой-то госпиталь, где ее восьмидесятивосьмилетний дед оправляется от сердечного удара. Она включает мотор, я опять берусь за свою бутыль. Машина устремляется по парквею.

Жена моя последняя – Ленка, была, мне думается, блядь по натуре. Но что-то такое в ней было неуловимое, что именно меня счастливым делало. Может, как раз то, что она была блядь. Я ведь тоже блядь по натуре своей.

Красивая была очень – это честолюбию моему гигантскому льстило – да, но не это главным было. Она, оказывается, в любовь мою годилась.

Образ моей любви, признаю теперь, был и есть по-простонародному вульгарен. Этакая, знаете, белокурая и стройная, обольстительная леди-девочка в шляпе. А Ленка именно в шляпе была, и поэтесса еще.

Ну что вы от провинциального парня-поэта хотите – влюбился Эдичка в Ленку без памяти. Да честно говоря, и сейчас еще сердце нет-нет, да и вздрогнет, если мелькнет в толпе высокая фигурка в шляпе.

Жизнь дается – живи.

– Ах, мама, – я боюсь!

Живи – не бойся.

Боюсь, боюсь – желтых рисунков, пыльных лучей света! головной боли, стариков, таблеток, детского плача на рассвете, щенячьего кала, убитой птицы и расколотой голубой фамильной вазы. Еще боюсь моей настоящей фамилии, пены моего прошлого, буквы «п», свернутых в рулон чертежей и белого хлеба, очень белого хлеба.

То, что приносит спасение: селедка, лимоны и апельсины, свежее солнечное утро, папин револьвер, красивая и ладная одежда, быстрая езда в автомобиле.

Германия опять пожирает своих детей. Своих лучших. Цвет нации и ее надежду. Кровь на губах Германии и пальцы ее в крови. Трое убиты в тюрьме. Ребята, родные, прощайте, товарищи! Мы приспустим черные флаги. Мы отомстим палачам.

Может быть, ужасное немецкое серое утро, когда пни вошли и дважды застрелили и повесили. «Не убивайте, не убивайте, не убивайте безоружных их в камере!»

Я сижу в окне, заросшем диким виноградом, и гляжу на реку, которая от меня метрах в двадцати.

Солнце. Последние дни октября. Миллионерский садик. Большое дерево в центре сада почти не облетело. Птицы и осы кружат подле меня – лакомятся диким виноградом. По Ист-Ривер изредка проходят буксиры. Уикэнд – река поблескивает мирно, и мирно едва шевелятся листья, и мирно выливается рок-н-ролловая музыка из затянутых домашней материей ящиков, перемежаемая сытой рекламой и новостями.

Вроде все ничего. Как будто даже удивительно и хорошо – никто меня не трогает, и даже я не нуждаюсь в алкоголе, какового в винном погребе миллионерского домика хоть пруд пруди – самого лучшего. А вот не хочу замутнять осеннюю светлость.

Мир. Жизнь. Все как бы остановилось. Солнце на лице – примирение в сердце.

Обман только все это. Завтра-послезавтра опять грохнет мир… опять загрязнятся чистые волосы, ветер измажет, дождь промочит, женщина предаст, и я целую красный лист, упавший на мою страницу. Здравствуй, природа!

И убейте меня красиво, пожалуйста, люди!

Девочку выебал. Двадцати одного года. Хорошая американская еврейская девочка, белокожая и с пышными волосами. Груди большие, мягкие. Отверстие это слизью течет.

Дело происходило в Сохо, в лофте, который в состоянии застройки был – металл, цемент, дерево, штукатурка, кирпичи и фанера валялись повсюду. Взъерошенный пол и пробитый потолок. Более или менее чистая от этих предметов желтая ее комната всеми пятью (!) дверьми выходила в строительный хаос, а в огромное окно жутко сияли светы мирового торгового центра, две зловещие коробки сочились светом в окне.

Даже в темноте и на ощупь я чувствовал, что имею дело с еврейским телом, что-то в нем особое было, чего словами не определишь. Еблись мы, накурившись марихуаны. А время шло. И носки на

ней были вязаные разноцветные, впопыхах мы их даже не сняли, как и мою одежду – сладко-сладко еблись.

Ее еврейские дед и бабка приехали когда-то сюда из России. Великое переселение совершилось только для того, чтобы внучка встретила здесь русского парня и они еблись.

Утром в супермаркете, в той линии, где стоят покупающие меньше восьми штук еды – обычно старики и старухи – они раньше всех встают – не спится – жизнь, выброшенная собаке под хвост, мучает. Кто покупает три картошки, кто роняет мешочки и пакетики, заскорузлыми руками пытаясь схватить их, и я замечаю при этом, что у сгорбленного чудовища руки почти девочки, с такими же светлыми свежими ноготками, пальцы и ладошки почти не тронуты временем.

Это открытие вызывает во мне почему-то отвращение и почти состояние рвоты.

И хотя я, выходя за этой старухой, придерживаю ей двери и помогаю вытащить супермаркетовскую колясочку – я на нее не смотрю. Мне хочется уничтожить ее, не прикасаясь к ней – плеснуть на нее раствором, и она испарится, застрелить ее из автомата, и пусть ее заберут с улицы мгновенно прибывшие полицейские санитары. Ее присутствие оскверняет воздух, старуха чудовищно непристойна и патологична. О Господи! Как ты это терпишь…

Шумный Эдинька. Тихий Эдинька. Грустный как мальчик сидит в уголке постели. Устал. Спустя два часа разыгрался как дитя. Шалит. Вино пьет и стихи вслух читает. По телефону остроумничает.

Но тут погода вдруг переменилась и дождь закапал, так скушно и серо… Эдинька как заплачет. Даже маму и папу вспомнил, бросившись ничком на кровать. И о бывшей жене причитает: «Ленка моя любимая, – шепчет, – глупая, слабая, нежная – предательница моя – девочка, в последний раз встречались – ручки-ножки мне твои целовать хотелось! Ленка моя слабая – как мир пуст и мал!»

Но потом успокаивается Эдинька и берет книгу – письма Че Гевары читает. Дошел до последнего письма к родителям и до строчки о «маленьком солдате фортуны двадцатого века» – вдруг взрыв слез – брызги слез, одновременно с уколами во всех корнях волос на всем теле.

«Гордый мой, пышный мой и скромный – испанский Че…»

А то еще пришел как-то гость миллионерова домика – богатый не то индиец, не то иранец, пришел вдруг с ошеломляюще красивой высокой аффектированной девушкой. Миллионеровой экономки подруга по просьбе-приказанию иранца дринк аффектированной сделала, пока она по телефону что-то взволнованно в кожаном кабинете хозяина произносила.

А когда уходили они, то мы встретились глазами и что-то Друг в друге нашли, вдруг открыли, ибо оба потупились и заулыбались. И она смешная, и я смешной. Я знал эту улыбку и чем она оборачивается, но знал также – не реализовать это никак, я – друг прислуги, а значит, между нами классовая стена, и она ушла с этим прилетевшим по делам бизнесменом. Навсегда.

Фиалковый проблеск глаз, всплеск юбки, поворот юной стройной фигуры – никто нас, конечно, не представлял друг другу – кто ж представляет прислугиных приятелей – «Это Эдвард, он из России, еще месяц назад он получал вэлфэр как неимущий и неспособный член общества, а теперь ждет работу повара». Ебаная жизнь!

Вышла в ночь и умчалась в автомобиле ее юная красота. Фигу вам, Эдвард, фигу! Эдвард – сокровище хуево. Никому-то вы, сокровище Эдвард, не нужны.

А они небось в Реджин поехали, в Реджин…

Спал плохо, потому что в час ночи начала выть и плакать собака в соседнем номере и кончила, избитая пьяной хозяйкой, только в три.

Несчастные обитатели дна зачем-то еще заводят и несчастных собак – вонь стоит неимоверная, лужи собачьей мочи и в элевейторе. Может, хочется нашим обитателям быть похожими на богатых людей, а может, они с собаками не так одиноки…

Вообще сейчас отель «Embassy» похож внутри на военные руины. На моем этаже еще в апреле сгорели две комнаты и часть коридора. Так и стоят заколоченные, и никто не чинит ни черный коридор, ни эти злополучные комнаты. Неделю назад выгорел весь пятый этаж.

В элевейторе и в холле вам предлагают любые наркотики, а если вы едете с сутенером-пимпом, он предложит вам женщин – «приходи, парень, если ты готов истратить двадцать долларов».

Грустно воняет собачья моча, размытая дождем у входа в отель. Ходит в холле молодая нарядная черная сумасшедшая девушка, вслух чудовищно рассуждая о разнице слов «God» и «dog».

Дождь хуячит в этот ноябрьский день. Я уже в новом социальном обличье, не вэлфэровец, но повар кафе, проснулся поздно и сижу по месту жительства в том же отеле, гляжу в окно на дождь и жду, когда на работу нужно будет идти.

На работе меня ждут пельмени, борщи, пироги, кулебяки и прочие прелести. На работе меня ждут тоска и чепуха – молодой А., совершенно пустой человек, который, к сожалению, говорит по-русски. Ждут меня два средних лет испанца-посудомойщика, которые, к сожалению, не говорят ни по-русски, ни даже по-английски, между тем они куда симпатичнее, чем глупый и подслеповатый А. или другой мой коллега, сверхобразованный сноб и гомосексуалист Г. в высоких сапогах.

Меня ждут ребята-арабы и два черных парня с Вест-Индских островов. Меня ждет рефрижерейтор, проходы, углы и шкафчики, короткие обывательские злые ссоры на «политические» темы, меня ждет тупая жизненная стихия, между тем как я люблю другое обличье жизни.

Очень другое обличье жизни.

«Перелезем и через это», – вяло думаю я.

Еще я думаю, что нарезал в прошлый раз свеклу для борща слишком крупно, она некрасиво выглядит на ложке…

Лепил я как-то пельмени, оставшись один в кухне, весь в муке, до двенадцати часов ночи. Два испанца – мойщики посуды – тотчас грязную посуду после меня и мыли. Ни слова по-английски.

«Вот, Эдуардо, – будущие твои друзья – солдаты – говори с ними, – сказал я себе. – Лицом к лицу с ними ты стоишь». Они меня их крепким кофе угостили. Я им краденого вина налил. И отпустил их раньше времени. Сам позже ушел. Командир товарищ Лимонов.

Переселился он, переселился. Избавился от отеля «Эмбасси» и дна. Всплыл. Сейчас живет уже в квартире на Ист-Сайде, делит ее с еврейским мальчиком двадцати трех лет. Имеет наш Эдуардо две маленькие комнаты. В одной у него спальня, в другой кабинет. И хотя деньги он зарабатывает случайной и грязной работой, все же ступил он теперь на следующую ступеньку социальной лестницы. На хуй ему другая и никакая ступенька не нужна, но все же *ступил* . Свершилось.

С помощью миллионеровой экономки, но полноправным членом капиталистического общества стал, хотя доход его едва ли более двухсот долларов в месяц. Шляпу завел, зеркало поставил, ковер миллионеровой экономки на пол постелил, ее простыни и полотенца использует. Кровать ему люди дали, стол, картинки развешаны, лампа на столе сияет. В который раз опять шумит жизнь.

А на стене статья об Эдуардо из итальянской газеты, с фотографией Эдуардовой висит. «То ли еще будет», – думает упрямец, сидя под статьей. И в холодный декабрь за окном упрямо смотрит.

На одном парти встретил девочку, которая потом не снимала и поправляла парик даже во время любви и когда вдвоем принимали душ. Очевидно, что-то серьезное было с ее волосами, или под париком их не было совсем. «Лысая певица», так сказать.

Она не знала, что меня давно не смущают такие глупости. Главное, что ее тело тянуло, тащило меня к ней, я ебал ее две ночи и один день подряд и даже изодрал об нее свой член до крови. По пачке хуев в каждом глазу было у этой еврейской девочки.

В коротком промежутке между сеансами любви мы только и успели посетить на двадцать пятой улице ее друга – черного фотографа – усталого мужика лет сорока пяти, специалиста по садо-мазохизму.

Девочка тоже фотограф, на ее фотографиях голые модели сгруппированы в неясные группы, от грудей и лобков брызжут искры, или груди и лобки излучают свет.

Для украшения новой квартиры повесил на стенку среди прочего и старую фотографию, где Елена голая сидит на подносе, а я стою сзади в пиджаке национального героя, сел на горячую батарею и говорю:

«Ну что, Ленка? Теперь, после двух лет, не страшна ты уже мне. Повесил я тебя. Освоил. Победил я тебя, Ленка. Виси теперь здесь как исторический экспонат, да еще Эдьке Лимонову – бывшему мужу послужишь тем, что девочек, приходящих ко мне, поощрять к сексуальной близости будешь. Раз у Эдьки такая красивая жена была – надо ему дать – девочки думать станут. Виси, Ленка, на стене – помогай хоть так – стерва, блядища…»

«Эдюшечка, Эдюшечка –
хороший человек.
Красивый мальчик, душечка,
люблю тебя навек!

Пою с тобой романсы,
танцую с тобой танцы.
Ты храбрый и большой –
с израненной душой!»

– это спел в заключение.

«Девочки вы мои родненькие!» – холодным дождливым утром, лежа под одеялом, только что спешно приехав домой в кожаном пальто и такси, произнес вслух, мысленно обращаясь ко всем образовавшимся сейчас вокруг него девочкам, в большинстве своим в возрасте двадцати двух лет. Те, с которыми раздеваюсь, и вложив в их нежные и восприимчивые щелки свое нежное и восприимчивое орудие, трусь им, мы тремся долго-долго.

«Девочки мои родненькие! Единственные близкие мне в этом мире!» Они приезжают ко мне в сабвее, в дешевеньких нейлоновых курточках, среди холода, дождя и снега и ложатся в кровать. «Ну простите меня за что-то, чего я не понимаю сам!»

Из окна. Идет какая-то в беретике белом, и кусок блондинистых волос из-под беретика. «А, идешь из супермаркета – поблядушка! А вот мы тебя на хуй, на хуй…» – подумал вульгарно и радостно от сознания своей мужской силы, обаяния, расцвета и победы над недавними ужасами.

Однажды на рассвете в сухом феврале я увидел на пустынной Пятой авеню большую рыжую крысу. Она вышла из дыры в подземном (полуподземном) подвале фешенебельного магазина и спокойно переходила авеню. За несколько дней до этого в тот ледяной год от меня ушла моя жена.

Я злой, я нервный, я нехороший, я неинтересный. Я много думаю о революции или терроризме и мало думаю о реальности. Я дожил до седых волос, но наивный, как сказала девушка Вирджиния. Я мечтатель – «дример» – как сказала другая девушка. Я приготовил себе ужасное будущее, я кончу плохо и в ужасных муках – как сказал один поэт.

«Я умру в муках – в тюрьме или на виселице», – как со страхом открыл я сам. У меня нет денег, и никто меня не поддерживает. На вечере поэта Вознесенского в Колумбийском университете профессора русской литературы смотрели ему в горло, а мне подавали руку, смотря в сторону.

И все же я горжусь тем, что я нервный, и горжусь тем, что я злой. И я уверен, что я хороший, куда лучше их всех – и узких домашних профессоров, и ручных домашних псевдобунтарских поэтов.

Сейчас мне хочется быть человеком, который ночью открывает калитку (дверцу машины, ворота замка) и говорит промерзшему юноше (озябшей девушке): «Войдите, друг! (Войдите, мисс!) – здесь тепло и приятно – возьмите это золото и живите».

Раньше же мне хотелось быть озябшим молодым человеком, собирающимся броситься в воду с моста" к которому подходит вдруг роскошно одетый седой мужчина и говорит: «Вы бедны? Вас оставила подруга? Перестаньте, что нужды, не убивайтесь. Вот вам мешочек денег – поезжайте куда-то, развейтесь, живите!»

Как-то во время очередного невеселого веселья в миллионеровом доме, сбежав, открыл дверь в черный декабрьский сад и с печалью смотрел на вздутую реку и деревьев схематические ветки на фоне тревожного неба, и сакраментальная луна вдобавок, и думал о какой-то девочке-леди в белом, почти газовом платье, нервно смеющейся и истерически танцующей со мной, истекая чем-то через платье (соком желания?) – обольстительно прекрасной в своей сучьей молоденькой страсти. И ко мне и ко всем другим. К миру.

Горячая шея, измазанные бурой травой белые до локтя перчатки, холодно, знобко и будто бы спешно-спешно еблись под деревом стоя – какая-то полуромантика, полу порнография…

«Эдвард!» – прокричали сверху. Эдвард – это я. «Что ты тут делаешь один?» – спросила подходящая подруга миллионеровой экономки.

Холодно. Иногда дождь, а сегодня холод. Уже с год как за мной, я понимаю, пристально следит FBI. После статьи, некоторое время назад напечатанной в итальянской газете, они, надо думать, и прочнее на мне акцентировались. Пока за слова и книги, не за противозаконные поступки.

А поступки будут. Я почему-то грустно гляжу в окно на пустую в эту холодную декабрьскую ночь Первую авеню и рассеянно думаю о моей Эдиковой, Эдькиной, Эдуардовой жизни. Долгой особенно она, кажется, быть не должна. Но и не короткой.

И мерещится летний подвиг и летняя кровь впереди. Так сказать, измышляю для себя конец покомфортабельней. А вероятнее всего, просто всегда ненавидел холод и обожал солнце. «Будет, будет как хочешь, успокойся. А пока поди на кухню – ночью всегда хочется есть – вынь кусок еды, что добрейшая миллионерова экономка привезла – ешь пока, пока… Ты уже кое-чего добился в этой жизни, дело с твоим именем на обложке, конечно, уже стоит в картотеке FBI. Пожми плечами. Что ж! Значит, все идет как надо».

Мамочка! Жизнь как сон, и ничего как следует не вспомнишь даже. Сплошной сон – стихи, Москва, жены промелькнули и скрылись, друзья и ласковые поклонницы, русская природа, Крымы и Кавказы, московские снега и московские чернильные сумерки.

Вылетел в Италию с бантом на шее – артист и заговорщик, асти спуманте, ватиканский музей, рыжая миловидная женщина, расходящаяся с мужем Аркадием, уходящая к лохматому музыканту, все ушло… И многое еще уйдет.

И вдруг очнешься на своей-чужой улице в костюме от Пьера Кардена, с автоматом в правой руке, с мальчиком – другом тринадцати лет – слева, сжимаешь его за шею, полуопираясь на него" – идете в укрытие, и это или Бейрут, или Гонконг, и у тебя прострелено левое плечо, но кость не задета.

Изучаемый новый чужой язык, стрельба по движущимся мишеням, бомбежка. Надо быть храбрым, этого от нас хочет история, хочет ненасытный кровожадный всегда народ, надо быть храбрым и отчаянным – Здька Лимонов; надо, брат, надо!

Если вы молоденький и худенький…

Ах, если вы худенький и молоденький, и волос у вас на голове более чем до хуя, пушистая челка закрывает ваш лоб, то неважно, что часть волос седые. Руки у вас сбиты и исцарапаны, и изрезаны, потому что вы то строите лофт, то делаете новый докторский оффис. Вы честолюбивы как свинья, готовы выступать по ТВ и радио, давать интервью газетчикам всякий день, но другие-то живут медленней и книги печатаются долго, и пока вами серьезно никто не интересуется, за исключением некрасивых девочек…

Купил себе елку – вроде как играюсь в это. Хотя и в очереди, как в России, для этого не стоял, все же времени истратил достаточно, объездив с миллионеровой экономкой многие места в даун-тауне. И уж совсем под конец устав и озлившись, измерзну в, нашли на Вест-Сайд-хайвее, у самой Канал-стрит и свирепой декабрьской Хадсон-Ривер целое скопище кристмас-три и продавцов, что жгли для согрева масло в бочках – масло горело неправдоподобно красным, адским пламенем.

Купили (экономка торговалась) две елки, и привязав их к крыше джипа, отчалили. Джип же дала миллионерова жена, услышав, что Эдвард хочет покупать елку. Эдвард же, три дня назад напившись до бессознания на миллионерском кристмас парти, целовал миллионерову жену при всех трех сотнях гостей. Дурак и свинья, конечно.

Елку же поставил для Нового года – приятно запах детства вдохнуть. Мандаринов вот еще скоро куплю – здесь танжеринами называются. Нитки под кожицу пропущу и повешу – и еще если деньги будут – куплю конфет и конфеты позешу. И лампочки. И смотреть буду.

И вернусь под Новый год (после Нового года) домой пьяный, и улягусь под елкой спать. А какого черта, и так себя не балую…

Компания, состоящая из самого статного бородатого миллионера, его жены, ее любовника в цилиндре, фраке и черной бархатной накидке, и все дети отправляются в театр смотреть «Дракулу», а до этого в китайский ресторан.

В семь часов экономка взяла из китайского ресторана маленького Майкла, он на Дракулу не идет, и мы пошли в универсальный магазин Блумингдейл покупать для членов экономкиной семьи подарки. Маленький Майкл лопал поп-корн, показывали захватывающий кусок из «Star Wars», предрождественская толчея, продажа мечей, модель которых пришла из того же фильма. Я подумал… ах, что я мог подумать, ничего существенного, так себе, мысли. Духи захотелось купить и многое – многое или ничего. Денег у меня не было, только пятьдесят центов да токен сабвейный. Неожиданно поймал себя на том, что ломаюсь и делаю вид, что я Майклов отец, в шляпе я был и в дубленке моей с большим воротником. А лицо измученное, какой уж там Майклов отец. Миллионер же новой современной формации, когда уходили в театр, был в смокинге и в персидской рубашке со стоячим воротником, как бы в русской, золотой, золотом расшитой.

Какое было неземное райски-адское время, когда Елена ушла от меня в феврале 1976 года. О Господи, как я счастлив, что испытал такое время и то страшное несчастье.

Бремя обнаженного сердца! Странного, жгучего, как алкоголь, воздуха, монстров, рычащих вокруг, поголовного заговора природы против меня, огнедышащего неба и разверстой, трепетно ждущей меня земли.

Сколько невероятных наблюдений, сколько кошмарных опытов! По Нью-Йорку на жгучем зимнем ветру разгуливали саблезубые тигры и другие звери ледникового периода, трещали раздираемые небеса, и я, теплый, влажный и маленький, едва успевал отпрыгивать от зубов, утроб и когтей. Кровоточащий комочек.

И громовым грохотом со всех сторон гудели страшные слова философа-горбуна: «Несчастнейший – он же и счастливейший!., он же и счастливейший… он счастливейший!..» Но я их тогда не понимал.

Хотел бы я сейчас побыть в таком состоянии, но нельзя, нельзя, к сожалению. Такое видение дается только в страшном несчастье, один раз, и пограничное такое состояние только со смертью.

Миллионерова экономка

Неандертальский мальчик

Лысая певица

В результате размышлений обо всех моих девочках, склоняюсь к выводу, что девочка-фотограф (Лысая певица), хотя и достаточно сумасшедший экземпляр, – сейчас мое наивысшее достижение в сексе. Помимо того, что мне ее большей частью хочется, она и в творческом плане повыше всех моих других Эдуардовых девочек с ее странноватыми фотографиями голых женщин и мужчин, излучающих свет.

Лысая певица выше бессексуальной миллионеровой экономки и выше неандертальского мальчика, как я зову одно небольшого роста создание, которое всем хорошо – приветливо, услужливо и ебется приятно, но немножко всякий раз в разной степени попахивает мочой и удивительно похоже на того милого неандертальского мальчика, какового все помнят по рисунку в школьном учебнике. Сейчас неандертальский мальчик танцует модерные танцы и три вечера в неделю работает в ресторане официанткой.

Лысая певица выше.

Я думаю, что если б миллионерова экономка умерла, – я бы придумал и написал историю о том, как нежно я ее любил, и искренне плакал бы о ней с Лысой певицей, а на другой день пришла бы неандертальский мальчик и плакала бы тоже – все мои сегодняшние подруги сентиментальны.

Я, честно говоря, уважаю миллионерову экономку – нездоровая, она обладает все же гигантской энергией, простая, она способна любить непростое, и даже гнилое, она с обожанием и гордостью матери говорит, что на последнем парти все женщины спрашивали хозяйку «кто это такой секси» – больше всех других мужчин – это о тебе, Эдвард.

Интересно бы заглянуть в душу этой рослой девице с большими ступнями, оттопыренной мягкой попкой и странно длинными, пухлыми, еще детскими руками. Что у нее там в душе? Почему ей доставляет удовольствие кормить, поить, всячески опекать злодея на двенадцать лет старше ее, который очевидно и явно смотрит в лес, у которого она находит женские часики в ванной комнате и едва ли не женское белье, но не ропщет. Миллионерова экономка окончила католическую школу. Если б она умерла, возможно было бы возвести ее в святую.

Но именно потому что она не умирает, я порой ненавижу ее за ее заботу обо мне и презираю за бессексуальность. «Доктор сказал мне, что очень скоро я буду здорова, и ты сможешь go inside of me», – сюсюкая шепчет она. Если б она знала, сколько раз я делаю это «вхождение внутрь» с той же, уже несколько наскучившей мне, Лысой певицей, она бы умерла от страха и зависти.

Хотя у миллионеровой экономки только грипп, такое впечатление, что она почти умирает. Я люблю умирающих, и потому в этот вечер и ночь Нового года я здесь. Она лежит на четвертом этаже в постели, охает и стонет и читает детского поэта А. Милна, я же внизу в кухне развлекаюсь по-своему – ем щи и пирожки, которые приготовил накануне сам, пью столичную и мартини, изредка звоню по телефону и не унываю, – все будет хорошо, и хоть жизнь ближе к концу, чем к началу, мы еще успеем, Эдуард Вениаминович, поблистать, почудить, показать зубы и грозный профиль, а потом с грохотом, в дыме и пламени вылететь навсегда в зияющую бездну – в смерть.

А в промежутке еще не одна белошеяя красавица склонится над вами – погодите.

Может быть, нужно спать, может быть, не нужно – я не знаю. Может быть, без сна следует сидеть – писать, вдохновенничать, кусать ручки, марать листы. Но почему-то нет сил делать то или это. Я только тупо сижу за столом, не ложусь, тихо шевелю мозгами, и эти ужасные редкие шевеления

мысли в полусознании, оказывается, и есть настоящее ощущение жизни, которая не более чем биение крови, и вот этот тусклый полубред. Как бычий пузырь в окне пра-пра-пра-пра-пра-деда. Сквозь пузырь еле брезжит четверть-свет.

Как-то утром в собачий холод, плохо одетый, ехал от Лысой певицы. В сабвее на линии «RR» сумасшедший – улыбчивый и слюнявый – перечислял президентов, и выходило, что он какой-то родственник Рузвельта, сын что ли.

В номере шестом на Лексинггоновской линии, куда я пересел, тоже был сумасшедший – только черный – в трусах, с брюками под мышкой – куда более зловещий. Он приставал к перепуганной насмерть черной же девушке, агрессивно наступал на людей и в результате разогнал почти весь вагон, но не меня. С беспокойным спокойствием я подумал, что пущу ему нож в брюхо, если только дотронется. Не дотронулся, хоть шмыгал рядом.

Идет снег, и я думаю, что хорошо бы отравиться какой-нибудь яркой гадкой жидкостью, оставив ее немного недопитой на столе, в тонком стакане. Отравиться, глядя в снег. Сделать это от восторга перед жизнью, от восторга только, от восхищения и восторга.

Вышел, оправил куртку и сказал:

«Вы должны понимать, ребята, это наш последний бой. Вряд ли мы вырвемся, не питайте иллюзий. Есть в этом мире единственное, что выше жизни, – хорошая геройская смерть. Антонио и Барбара пойдут со мной в левую комнату, к окнам, остальные как вчера. Шила! – поставь нам эту твою безумную пластинку, хорошо подходит к настроению. Какое солнечное утро сегодня!»

«Ну что они там внизу, шевелятся?» – спросил он у прижавшегося к вырезу окна Лучиано.

Внизу на далекой улице задвигались черные спины солдат.

Любовь к револьверу выражается у меня в том, что часто вечером я кладу его на подушечку под лампу в моем кабинете – нежно разбираю его – раскладываю части отдельно и любуюсь. Он мой преданный, суровый и верный друг. Он изящен, элегантен, и весь его силуэт и целиком, и по частям, исполнен силы, значения и выразительности. Когда я гляжу на мой револьвер, я испытываю удовольствие.

Я обычно долго рассматриваю мой револьвер, затем поглаживаю и смазываю его лучшим маслом, какое могу найти в нашем городе.

Когда-то у меня была молоденькая белогрудая девочка, которую я очень любил. Я ебался с ней много раз в день, и когда уже изнемогал и бессилел, но все равно хотел смотреть, как она

дергается и плачет от любовных удовольствий, – я заменял мой член моим револьвером. С большим успехом и к страшной радости моей подруги. Впрочем, я всегда вынимал патроны.

Мы оба были таинственные сумасшедшие – и я и она, потому она отворачивалась, когда я вынимал патроны, и ей все хотелось думать, что я извлек не все и, может быть, оставил один, и ей было страшно.

В холодном конце января, в сумерки, Нью-Йорк выглядит свинцовым. Свинцовый асфальт, такое же небо, которые дома совсем из свинца, которые частично. Особенно мрачен в такую погоду желтый цвет.

Страшен наш город наблюдающему его и живущему в нем. Прижмешься к радиатору и глядишь в окно, человеку свойственно бояться, но и выглядывать на ужасное.

И вот я думаю: «И чего я здесь живу? Почему не уеду в леса и поля, в зеленое, круглый год теплое и веселое пространство – его возможно найти на земле. Чего я тут живу – вон ведь какой гадкий бурый дым поднимается от крыши соседнего здания. Черт его знает. Сегодня я этого не понимаю – фу, какая нечеловеческая мерзость за окном».

Мой руммейт вначале сбрил бороду, теперь он постригся. Очевидно, он начал другую жизнь.

Я тоже хочу чего-то нового. Я пойду в магазин и куплю ружье. Или два ружья. Я повешу их на стены, а впоследствии я буду покупать порох и патроны, и жизнь моя изменится и расцветет.

Одно из ружей, я решил, будет дробовик, а я хорошо знаю с детства, как обращаться с дробовиком. Я спилю у него дуло, и, если ко мне ворвется толпа, их встретит плотная стена дроби.

Они этого очень не любят, я знаю с детства. Помню, как сосед Митька, выскочив на крыльцо своего дома, выпалил по толпе, пришедшей с кольями и топорами убивать Митьку. Как они заорали и бросились бежать, а ведь он сделал только один залп. Жил я тогда не в Сицилии, но на Украине.

Стою у окна, руки в карманы, и говорю себе: «Что? Противно? Пусто? А на хуя мастурбировал? Знаешь с детства – нехорошо это, еще мама говорила. Да и стыдно, девок вокруг полно, все время звонят по телефону, а ты мастурбируешь – а?»

– Да не те девки все, не такие, как хочется, пламени от них не исходит, ебу их, а удовольствия большого нет, – сам же себе и отвечаю. – Не попадается все с пламенем никак, ну вот и согрешил, в воображении об ангеле-девочке, нежном и злом, ушел.

– Ну ладно, хуй с тобой, – иди поспи, потом поешь получше, стаканчик джина выпей и пойди походи по улицам, в лица позаглядывай, авось того ангела жуткого для чресел своих найдешь – перепугаешься, остолбенеешь.

Желтые такси. Разлинованный, разнумерованный город. Восемьдесят третья улица, восемьдесят четвертая, восемьдесят пятая… Или если вниз – восемьдесят вторая, восемьдесят первая… Или если к Весту считать – Вторая авеню, Третья авеню…

Поразительный мальчик с мамой, высокомерная высокомечтающая модель с портфолио из жирного лакированного автомобиля. «Сука!» – зло бросил ей вслед по-русски, не удержался, мелкая месть, старые счеты, идущие от модели экс-жены.

Оглянулась с удивлением. – Что говорит?

Улыбнулся со всем возможным нахальством.

Улыбнулась в ответ, подумала: «Значит, имеет право на эту интонацию», – художник, актер? Хуй его знает, может, какая знаменитость – на всякий случай решила улыбнуться. Ушла. Светлый безоблачный лобик, презрительное нахальство и знание этих жалких канючащих мужчин – «все меня хотят». Ох кошка, если б я в тебя влюбился, хватила бы ты у меня горя, я бы тебя не сигареткой прижег, уж я нашел бы для тебя боль. Завернул в бар и выпил «блэк вельвет» – пиво Гинесс с шампанским, как покойный маленький ирландец-поэт Джордж Риви научил.

А ноги у сучки из-под шубки вылезли дерзкие, длинные, нахальные, когда ее из машины «папаша» за ручку выводил. С каким бы удовольствием она «папашу» по яйцам бы этой ножкой двинула.

Для сердца, наверное, имеет негодяя вроде меня. Итальянца, может, меньше ее ростом.

Встали поздно. Позавтракали на кухне – холодный ростбиф, чай, яблочный пирог. Друг против друга – по обе стороны маленького стола. Поговорили обо всем понемногу. И о статье в «Вилледж войс» об общей асексуальности. Но не мы, не я – каждый подумал.

За окном голубели богатые после пурги небеса. А потом он поймал себя на том, что ждет, чтобы она ушла. Остаться одному, погрузиться в книги и газеты, писать, или пойти побродить по

зимнему солнцу – рассматривать женщин, витрины… Но она не уходила. От все возрастающей ненависти к ней он опять выебал ее. Она ушла счастливая.

Пойти к морю. Сесть, потеребить мокрый канат или веревку. Поесть рыбы, выпить водки, глупо задуматься на полчаса. Во время этого состояния глядеть в море, забыв о том, кто ты – фашист, коммунист или того хуже. Вспомнить какую-то Веру, нет, ту порочную девочку Марину, которая была в тебя влюблена в коктебельских горах…

Очнуться, заскучать у моря и уйти в город, где мечутся люди, посягая на любовь и внимание ближних. Уйти и кого-то осеменить во время совершенно ненужного полового акта на абсолютно заебанных простынях. Пусть живот пухнет. Ненужный младенец растет.

Траля-ля! Траля-ля!

Так и хочется загалопировать куда-нибудь в лес с поляны, в ряду таких же хорошеньких, маленьких, завитых, в белых чулочках пажей – вслед за маленькой обольстительной принцессой, улыбающейся сквозь шиповные кусты.

Загалопировать. Попробуй. Ведь тебе тридцать четыре года. Принцесса вызовет полицию, приедут санитары – объясняй тогда, объясняй, что ты паж. И куда делись другие пажи.

Это было в Централ-Парке, где я облюбовал одну девочку.

Мой старый друг позвонил мне и позвал в музей, посмотреть выставку Арпа. Но мне было тошно идти в музей, в его порядок и тишину. Я предложил другу ближе к вечеру пойти позаглядывать в мусор, и он согласился сделать это взамен музея.

Через два часа мы пошли по улицам, погружая взоры в заманчивые пакеты (с брюками? с туфлями? с рубашками? с золотом?), заманчиво отдувающиеся черные мешки – разглядывающие, вовлеченные, принюхивающиеся, – ожидающие охотники за случайностью. Куда интереснее Арпа.

Я иногда хорошо отношусь к полиции. Они нас от нас самих – одиноких и отчаявшихся, охраняют. Чтоб друг друга не перебили. А в революцию их дело в сторону уйти. Не вмешивайтесь – усатые

ребята – не ваше дело, не вам это остановить. Тут перемена идет. Растворитесь в народе. А то растопчут. Растопчем. Хотите – примите участие. Наша революция зовет вас тоже. Она и богатых зовет. Она не людей против – она цивилизации этой против.

Нас научили этим походкам фильмы и фотографии. Мы взяли эти лица из фильмов и фотографий. Мы расположили свои мышцы в точности по их стандартам. Мы называем детей именами автомобилей и шахт. Кто-то однажды заносит в дом книгу – заезжий ли бизнесмен, монахиня ли, и она переворачивает всю жизнь. Или журнал даже, газету, не книгу, где случайная заметка бьет по глазам электрической плетью – и потом вся жизнь идет к черту, в яму, вон…

Я хочу написать книгу. Это очень нехорошая неуютная книга, в которой бензин плавает в океане, ветер гремит железом, крысы бегают по комнатам и даже по потолкам, а тараканов нет только потому, что их пожрали крысы.

Стада летучих гадких дурнопахнущих полузверей, полунасекомых закрыли солнце, деревья черны и потеряли листву, обледенение медленно движется с севера на юг, кое-где земля уже трескается и поглощает дома, людей остается все меньше, планета принимает осиротелый вид.

Это будет карманного типа книга. Шрифт в ней будет необыкновенно большой и разборчивый. Ведь у людей в наше время неуклонно слабеет зрение. Кроме того, если вы путешествуете по умирающей земле, то нужен же вам путеводитель.

Дела плохие. Ведь никогда уже на кареглазых животных не прибудут из Азии новые свежие толпы, там никого нет, и последние низкорослые ойраты и орочоны задумчиво смазывают свои мотоциклы в безумных потрескавшихся горах.

Гоголь и я, обнявшись, веселые и счастливые, на нашей Украине, под Полтавой – едим вишни и беседуем. Может, и вареники. Беседуем. Сон у меня был – я и Гоголь. Костюмы белые, может, не Украина – Италия, Рим. Ветки вокруг. Жара, знаете…

Соотечественники

Льва Николаевича Толстого, живи он сейчас, я ударил бы поленом по голове за кухонный морализм, беспримерное ханжество, за то, что не написал он в своих великих произведениях, как переебал изрядное количество крестьянских девушек в своих владениях.

Александр Исаевич Солженицын, мой дважды соотечественник заслуживает, чтоб его утопили в параше. За что, спросите? За отсутствие блеска, за тоскливую серость его героев, за солдафонско-русофильско-зековские фуфайки, в которые он их нарядил (и одел бы весь русский народ – дай ему волю) – за мысли одного измерения, какими он их наделил, за всю его рязанско-учительскую постную картину мира без веселья. За все это в парашу его, в парашу!

Руммейт мой – еврейский мальчик сейчас со мной не живет – у мамы живет – зашел в его комнату – вижу журнал «Club» – взял – рассматриваю.

Нина пизду пальчиками раздвигает – выпячивает, и Мирэль, развалясь в кресле, пиздой в меня дышит, все нежные девочки, снабженные аппаратурой в виде чулочков, поясочков, широких кроватей или роскошных соф, – призывно лежат, стоят или даже висят, порой мастурбируя в тревожном ожидании хуя. «Такую золотистую пизду я вряд ли где найду», – подумывает «мужчина» – замученный бизнесмен или служащий банка, с тоской поглядывая на картинку – такую золотистую пизду.

Мечта! Греза! Нежная, но огнедышащая пизда, белые слабые плечики – чтоб обидеть, согнуть хотелось, тонкие длинные ноги… Тьфу, еб твою мать – буржуазное общество! Мимо журнального киоска спокойно не пройдешь – полсотни пёзд со стенда в тебя выстреливают.

Ранят, тревожат…

Продай и ты, если можешь, – свои половые органы.

Старики при закатном солнышке – в доме напротив греют спины в креслах. Смотрел-смотрел, и вдруг: «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» – взревел. И эти белые чехлы на креслах – как начало конца, тренировка в саван. Fuck you! Кофе, марихуана, гашиш, алкоголь, кокаин, героин – да что угодно, но вздернуться криво и дико, как сумасшедший в петле. Или расслабиться, как куску мяса, растечься, развалиться, загнить, но не быть нормальным, этим спокойным ковыль-ковыль к смерти.

Fuck you! Ебаться, изменять, стрелять из окон, пытать жертв, грабить дворцы, идти с пылающей кровью и налитым кровью хуем по жизни. Неистово! И насиловать гордых женщин.

Retirement Insurance Policy!.. Как же. Рыбку на мелкой речке ловить в Оклахоме, пиво Шлиц-лайт пить, лысый череп вытирая, старую пизду жену-бабушку нюхать.

О нет! Лучше уж одиноким волком, четко видя перед собой в перспективе обрезиненный электрический стул, все же выйдя к ребятам, хрипло крикнуть: «Убивайте! Ибо это и есть жизнь! Всех убивайте! Кто не с нами – тот против нас!»

Я хороший мастер. Я ставлю стены ровные и прочные, я крашу их красиво и быстро, гвозди у меня сами в дерево идут, двери у меня вскорости на петлях повисают.

Я сделал студию фотографу – и еще сделаю какое помещение, если работа будет. Мне дом построить ничего не стоит, руки у меня золотые. Работник я что надо, и горжусь этим. Я и пирогу спеку, и щи сделаю – я и пиджак и пальто сварганю, а брюк за мою жизнь сшил я тысячи.

Сложись моя жизнь иначе – очень серьезный мужчина бы был. А я все с неуспешными шляюсь, за безудачных болею. Сердцу моему они ближе. С ними компанию вожу, с ними будущее связал.

Я мечтаю о диком восстании, я ношу разино-пугачевского типа восстание в сердце – потому не быть мне Набоковым, не собирать мне с оголенными старческими волосатыми англоязычными ногами бабочек на лугу, и не быть мне противноватым Норманом Мейлером, не щелкать по щекам еще более противного Гора Видала, и чтоб морщинистая кукла Джекки О., применив свои знания самообороны, оттаскивала меня от него.

Бывает жалкая и грязная кровь, и бывает кровь кровавая, чистая – один сироп. Хуй вы меня господином писателем сделаете. А вдруг миллион заработаю – оружия на эти деньги куплю и подниму в какой-либо стране восстание.

Замки покупать или острова, сваливать антик в кучу, менять пизду на более молодую пизду я не буду – я вам не глупая актерская кукла или дорвавшийся до рокстарства хрипун – пролетарский мальчик. У меня в этом мире развлечения исключительные…

Была у меня Лысая певица. Я обнаружил, что у нее увеличилась грудь. Я спросил – не кажется ли мне. Она подтвердила без комментария – «нет, не кажется, увеличилась».

После того как я выебал ее два раза, к десяти часам вечера собралась она (это необычно) уходить. И только уже одетая, на пороге, обронила, что идет делать аборт. Я погладил ее по щеке и где-то внутри смутился. Все это случалось со мной десятки раз в моей жизни, но я смущаюсь и буду смущаться внутри. Пойдя по какому-то темному пути, она могла бы достичь моего сердца, но ни она не знала этого пути, ни я. Потому мы и простились в дверях, осторожно поцеловавшись. Удивительно сдержанная, ненавязчивая Лысая певица даже восхитила меня своим поведением. Впрочем, она ведь знала, что я авантюрист, я сам ей говорил, потому как разумная еврейская девочка она и вела себя соответственно. Что навязываться, слава богу – есть что есть – наверное, думала она.

Я обещал ей позвонить на следующий день вечером, но не сделал этого из злодейства. К тому же – подумал я – пусть у нее появится нехорошее чувство ко мне. «Даже не позвонил, не узнал, что со мной». Такая горькая мысль, возможно, оградит ее от напрасной любви ко мне. Если не полностью, то хотя бы немного.

Я приятен с виду, но ядовит. Интересен, но ядовит. Таких, как я, стрелять нужно, чтоб яд не разливали. Государства, они правы, даже поздно они это делают, нужно заранее отстреливать способных к разрушению.

Бешеная собака я.

Помню, в далекие годы под вечер ехал на подводе в Сумской области. Лошади весело бежали, молоко в бидонах поплескивало. Было мне двенадцать лет, и в двадцатилетнюю студентку Нину был я как бы влюблен. Гостил я у нее – спал с ней в небывалую жару на полу большого деревянного дома. От жары на полу спали.

Спала она со мной в кружевной рубашке, и чувствовал я что-то странно беспокойное. Обнимала меня во сне скользким телом. И ревновал я ее к молодому мужику с чубом, трактористу кажется, и помню, комары меня изуродовали, когда я черную смородину, в болоте по колено, голоногий собирал, упорно озлившись и сбежав от них в болото. К ночи только и откликнулся.

Мычали коровы, грозил рогами бык, падали и вздымались пейзажи, вечерами за камышовым озером орала украинская песня, студентка Нина и тракторист, наверное, ненавидели меня в это лето.

И помню августовский покос, и как мы ехали на волах, везя необъятное чудовищное сено, и парни-кобели изощрялись в ловкости, забрасывая последние скирды к нам – к Нине и мне наверх.

Цоб-цобе! И синие мухи у воловьих хвостов, и после изнемогающий хрустальный вечер.

И помню хутора в вишнях, окруженные гречишными полями. – Вы когда-нибудь ехали через гречишное поле? – О, о чем же мне с вами говорить, если вы никогда не ехали на телеге через гречишное поле… Из хуторских зарослей выходили деды в соломенных брылях – зазывали к себе в прохладные чистые хаты и потчевали медом и теплым хлебом – все то, от чего сходят с ума здесь, за океаном, седые украинские националисты и сто раз за ночь переворачиваются в кровати. «Ще не вмерла Украина» и никогда не умрет, пока такие люди, как мистер Савенко (это моя настоящая фамилия), мутят воду на этой земле. Хоть я и не украинский националист.

Исправился

Времена, когда я ебался в подворотнях со случайно встреченными прохожими мужского пола (от одиночества, впрочем) и жил на вэлфэр, – те дни прошли. Сейчас я полноправный член американского общества, трудовая единица, рабочий класс, и даже пытаюсь платить налоги. И уже долгое время не педераст.

Ох еврейские девочки, еврейские девочки…

Энергичные и любопытные, пышноволосые, мягко, по-восточному романтичные, они рано покидают родительский дом. Они отважно выходят в мир, вооруженные диафрагмами, противозачаточными таблетками и книжкой о диетическом питании. Восторженные, носатенькие, поблескивая коричневыми глазками, они первые во всяком движении, то ли это женское освобождение, или социализм, или терроризм.

Они первые бегут покупать новую книгу поэта, и вы найдете их обмирающие глаза, если взглянете в зал во время выступления любой рок-группы или исполнения классической музыки. Они учатся балету и фотографии, они самостоятельны и упрямы. Часто действительно развратные и очень сексуальные, они умеют смирять себя ради долга или семьи. Среди них можно найти редкие и тонкие цветы необыкновенной красоты – такие становятся куртизанками и покровительствуют искусствам.

Сколько ни изводили еврейских девочек Освенцимами и прочими сильнодействующими средствами, а они все бегут по улицам городов мирового значения, все глядят на вас влажно из-под руки в автобусе, все дают вам – славянские и других народов юноши – свое тело.

Пели оперу. Я вошел.

Электрический стул – это неприятно и больно, и живот схватило, как перед экзаменом в школе, но ненадолго это. Плохо только, что по ТВ не показывают, вопросов перед уходом в тот свет не задают репортеры, что слишком тихо, чисто и, наверное, от искусственного света светло.

Легко и свою собственную смерть на стульчике этом вообразить – заплаканную маму, привезенную из Москвы в 1990 году (не дай-то бог!), – одну из жен – какую – неизвестно, какая окажется, обритие затылка, вонь казенной рубахи – интересно, их стирают или богатая Америка выдает всякий раз новую? Говно все-таки смерть на электрическом стуле. В полевых условиях куда лучше – бултых в пахучую траву и что-нибудь изящное успеваешь часто перед смертью приятелю сказать, а то, глядишь, и подругу по личику погладить успеешь.

Школьные воспоминания

Эди – как называл меня Кадик. Помнишь Кадика – Эдвард? Эдик и Кадик, Кадик и Эдик – водой не разольешь. Почтальеншин сын Кадик (Колька) учился играть на саксофоне. Парень он был неплохой, с талантами, Лидка его сгубила. Первая попавшаяся пизда. Старше его. Он от нее в снег плакать выбегал. Во время пьяной свадьбы.

Борька Хрушков девок ебал. А ты не ебал, а ты не ебал. Зато ты теперь ебешь всех девок, каких встретишь, а кого ебет Борька Хрушков? Жену, наверное, свою только, а то и в тюрьме сидит, никого не ебет. Бе-е-едный Борька Хрушков.

Жрет Эдвард курицу, как дерево твердую. Пыхтит, старается. Горло ободрал и измазался, в жире весь.

Сам виноват – позарился на дешевизну – видимое ли дело, 38 центов за паунд курица стоила – вдвое дешевле самой дешевой обычно курицы. Влип Эдвард. Не покупайте дешевого мяса – господа!

Не выброшу – все равно доем. Я не американец брезгливый какой, кто полтарелки мяса после себя оставит и в корзину с мусором выбросит. Я из страны, где войны и несчастья в этом веке навалом шли, У меня к еде отношение бережное. Я еду никогда не выбрасывал, после меня коту или собаке с тарелки и вылизать нечего. Мужик я, говорю я, по естеству, как есть мужик. Да еще и от голодных годов моих в Москве, не только от наследственности (деды мои оба в деревне родились) эта пищевая скаредность происходит. Я косточки всегда, бывало, обглодаю, что от рыбы, что от мяса – одинаково чисто, с полировочкой, и жир срезать не срезаю – не отбрасываю – ем все.

Я нарисовал женщину и поставил между ее ног крест. Я рисовал бессознательно, но в ее сторону были направлены все стрелы. Стена гадких темно-синих стрел была грозно нацелена в голую,

беспомощно разведшую руки женщину с крестом между ног. Вместо головы у женщины было колесо – грустное колесо.

Ужас и террор наполняли лист. Так я рисовал бессознательно темным синим цветом автоматической ручкой, в то время как говорил по телефону оживленно и не без веселости с одной из моих подруг.

К стене стрел в самом низу я почему-то пририсовал одинокий кран, а из него падали две капли. Непристойный кран с вентилем.

Ох, поэтик Эдька. Вот это работа – правительства свергать. Изысканная, возбуждающая. За гигантские деньги.

Вы приходите в контору – сидит поэтик Эдъка в очках, вежливо улыбается. Вам правительство свергнуть? Сколько платить будете?

И начинается… Ох, поэтик Эдька с Первой авеню в Нью-Йорке – доживем ли, сможем ли когда… А мечта яркая, деятельная, сильная.

Нервный палеонтолог, специалист по ихтиозаврам, не прощаясь ушел по-английски из подвальной квартиры в Гринвич-Билледж с большого и смутного парти. Я уходил тоже, мы прошли с ним один блок домов вместе, и вот что он говорил:

«Я люблю такую рыбину, чтобы в пасть ее можно было войти, не сгибаясь, и идти по желудку, как по коридору министерства иностранных дел.

Чтобы, если вы идете с дамой, не было бы неудобств и не пришлось бы хвататься за стены. Просторность – это мое первое требование к рыбе».

С последними словами палеонтолог вскочил в подъехавшее такси и умчался от меня навсегда.

Воровать, воровать, воровать, украсть так много, так, чтобы еле унести. Охапками, кучами, сумками, мешками, корзинами, на себе уволакивать, велосипедами, тележками, грузовиками увозить из магазина Блумингдэйл и тащить к себе в квартиру.

Духи мужские, корзину духов; пусть поплескивают – зеленые, кремы, шляпы, много разных шуб и костюмов и свитеров. Воруй, тащи, грабь – веселись, наслаждение получай, что не дотащим – в грязь и снег вышвырнем, что не возьмем – бритвой порежем, чтоб никому не досталось, вот она – бритва – скользь в руку – ага, коси, молоти, руби!

– И по лампе вдарь! – Возьми зонт – Жан! – На торшер – Филипп – ебни по зеркалу! – (Хрясть! Хрусть!)

– А мы за это шею гнули, жизни лишались, живот надрывали, вот вам, вот! – Эй, пори белье женское, режь его, розовое да голубое, трусами пол устилай! – Гляди, какие большие, – Лазарь! – Ну и размер, на какую же жопу и рассчитаны!

– И этот отдел переполосуем, танцуй-пляши на рубашках ночных да беленьких, ишь ты, порядочные буржуйки в фланельке этой по ночам ебутся, а эти халатики к любовникам днем надевают – пизду при распахнувшихся полах показать, посветить ею.

– Бей, Карлос! – Помогай, Энрико! – Беги сюда, Хуан! – здесь голд этот самый – золото!!! (Рррр!)

– Пошли пожрем в продовольственный! – Шоколаду хошь? На – шоколаду в карман. Мешок шоколаду возьмем домой. Два мешка шоколаду.

– Вдарь по стеклу! (– Дзынь!)

– Хуячь, руби!

– А вот оторви этот прут, да ебни! (– Хлысть! Хрусть!)

– Ткни эту пизду стулом, чтоб буржуазное достояние не защищала!

– Ой не убивайте, миленькие!

– Бей ее, суку, не иначе как начальница, а то и владелица!

– Мальчики! Мальчики! – что же вы делаете! Умоляю вас – не надо!

– Еби ее, стерву накрашенную – правильно, ребята!

Давно мы в грязи да нищете томились, хуи исстрадались по чистому мясу – дымятся!

– А пианина – Александр – мы с возмущенным народом пустим по лестнице вниз. На дрова! (Гром х-п-з-т-рррррр!)

– И постели эти! (Та-да-да-да-да-дррр!) Так я ходил в зимний ненастный день по Блумингдэйлу, грелся, и так как ничего по полному отсутствию денег не мог купить и второй день кряду был голодный, то и услышал извне все это.

Шел статный, в кожаном пальто и кепке, мрачно лежащей на глазах, суровой вечерней походкой все в жизни повидавшего мужчины, по Мэдисон авеню.

Навстречу в плащике, при голубых глазах, такой иисусик бледненький и красивенький, блондинисто-водянистый. Шею он на меня искалечил, извернул, глаза растопырил – ужас и восторг в них. Встретил, наконец, нужного зверя.

Но я и волосом не двинул, пошел себе дальше, зная, что он стоит и смотрит и ждет. И обожает, боясь, меня – кожаного, бандитского, злодейского.

Раннее утро. Снег и солнце. Стоит человек с крючковатым носом и глазом тихого убийцы и наблюдает, как жопатые рабочие разрушают брюхо большого дома при помощи костров и зубов гигантского бульдозера. Удовольствие в глазу и носу человека. Чуть ли не дремотно мурлычет.

Полежим на животах. Ебаться иной раз скушно. Дай мне цветок, и я с полускукой, полуинтересом потрогаю им твою розовую щелку. Бог ты мой – уж эти мне блондинки – прикоснуться нельзя…

После долгой ебли как кашей объелся… Но зад ее внимание привлек. Ишь, зад какой… Сунув большой палец между половинок ее пухлой попки, слегка палец повертел. Предварительно то есть отверстие как бы расклеил, раскрыл. И тут же член туда воткнул.

Как взвизгнет, рванется. Но я не отпустил, за зад к себе прижал, члену моему так прелестно. Ори, ори, мне все равно, что больно тебе, лишь бы мне хорошо, я даже боли крик и люблю – с криком и болью лучше. Довести бы тебя, чтоб тут и померла.

– А-а-а! А-а-а! А-а-а!

Вперед-назад – хуй по скользкой кишке. Приятно, что корчится и ногами стучит, хую хорошо, тесно, это тебе не пизда, пизда больше, а эта дырочка маленькая. И с последней ненавистью к грудастой зверюге почти разорвал там что-то в ней в глубине о твердый шар конца хуя. Получай! Как автоматной очередью – спермой туда. Закупорил.

И, выдернув хуй, упал поцелуем на влажную исстрадавшуюся, жалко трепещущую задницу. Со-зверюга ты моя, самка, сучечка!.. Ну не вой, не вой! Прости!

Если вас кто любит, а вы ее нет, это дикий пещерный ужас. Особенно если человек милый, хороший. На своей шкуре в случае с миллионеровой экономкой испытываю.

Как-то в вечер плакала, кричала, вином в меня плеснула в бессильности, после свистящим шепотом «Я обожаю тебя!» говорила, в кошмар и расстройство перешла, хотя и ничего ей не произнес такого, что не люблю или ухожу. Нутром чувствует, что недолгий я гость.

А что, могу ли себя заставить? Нет, увы. Лучшим другом она мне ощущается. На любовь себя не подтолкнешь, не изнасилуешь. Никто тут не виноват. А уважать я ее очень и очень уважаю.

И ценю. Талантливая она, да и хорошая. Но ебаться не могу с ней – как кровосмешение стыдное, как, наверное, маму ебать, то же чувство.

Дома. Весна. Чернильное небо. Иду гениальный, как Рембо. Вернее, не весна – дело к весне. Фиалками пахнет, хотя ясно, что нигде никаких фиалок. Смутные надежы – в ярко освещенное место когда-то войти и увидеть глаза и весь облик светлый, похабный, усмехающийся – ее. Никогда не видев ранее – узнаю, брошусь – «Идем!» Ледяная рука. Смех. «Идемте! Господин поэт!» На косточках кисти руки ее – ссадины.

Как ебать-то тебя буду – такую любимую. При вербах, в святой понедельник, в святую пятницу, в воскресение христово, при свечечках что ли, при молитвах, отстояв перед тем долгий пост, терниями исколотый, босиком, тернии и член искололи и чресла вокруг… тебя – тонконогую…

Иногда я плачу от злости. От злости бью кулаком в собственную ладонь, выругиваюсь, и слезы брызжут из глаз.

А вы делаете это, можете?

Утром шел снег, но к чаю небо очистилось, и вышло зимнее солнце.

В воздухе была тревожность разлита, как будто вам одиннадцать лет и вы ожидаете не то наказания, не то награждения за содеянное накануне и мелко трусите перед будущей огромной жизнью. И слоняетесь из угла в угол, и слоняетесь без конца, теребя шлейки коротких штанов.

Утро

Утром, сидя за листом бумаги, я подолгу гляжу в окно. Первая авеню в этой ее части, которую я могу обозревать, довольно пустынна. Редко можно увидеть больше одного прохожего за один взор.

Тут я спотыкаюсь и ничего не могу больше придумать. Мне хотелось бы сказать о моих безумных нервностях, но Первая авеню в этой желтой части никак не связывается с моими нервностями, если один прохожий в одном взоре, то что же тут нервного.

Моя внутренняя жизнь давно уже превратилась во внешнюю и наоборот, так что я не знаю, что внутри – очевидно, этот желтый кусок Первой авеню с одним грустным прохожим, а моя нервность и неистощимые новые и новые болезненные мысли и ощущения о Елене, ее теле, ее и моей судьбе – это снаружи и, может быть, лежит в окне.

Пулеметы, парашюты и пушки моего будущего очень свободно сходят за мое прошлое, и казнь чикагских анархистов в конце прошлого века в чикагской тюрьме уже двенадцать лет горит впереди на черном небосклоне, впереди, а не сзади.

Двенадцать лет назад я прочитал о ней и ужаснулся, «узнав» свою казнь.

А тем временем уже одиннадцать часов утра. Лысая певица, которую я никогда не ебу, встала и сунула голову в мой кабинет – поприветствовала меня. – Здравствуй, Лысая певица – ты хорошая баба, любишь и умеешь ебаться, сейчас ты пойдешь в ванную комнату и будешь ее долго занимать. Уж я тебя знаю.

Отношение мое к миллионеровой экономке очень двойное. Иногда она кажется мне милой и хорошей. Она настоящая американская героиня, девушка с фронтира. Она такая, на фургон с ружьем взберется, вожжи в руки и по индейцам или бандитам стрелять станет. Старшая дочь в семье, где девять детей. А в фургоне младшие дети друг к другу испуганно прижались – а она лошадей гонит и стреляет. Крепкая девушка.

Несчастье, что вижу я ее порой и другой – с искаженной рожей, в дурацких штанах, с прыщами под носом и на подбородке, босиком, а это, увы, небольшое удовольствие. Вчера я пошел и увидел ее такой. Почему к ней ходил – причина циническая – через пару дней нужно платить за квартиру, а кому еще сейчас я нужен – недостающее количество долларов у нее взял. Дала с радостью.

Сравнивая миллионерову экономку с Еленой, которую я видел вчера тоже, я ужасаюсь. Елена сладостная куртизанка, и высокого уровня. Каждый кусочек ее тела элегантен и дико, испорченно сексуален. Что с того, что Елена предала меня, бросила, ей наплевать на мою судьбу, а миллионерова экономка кормит и поит меня, покупает подарки, дает деньги и предана душой и телом. Что с того? Елена, как самая тощая и ободранная сучка в окрестностях, испускает особо резкий запах, притягивает всех кобелей и меня. Видите, какое дело, господа, – порок силен, красив и притягателен, а добро серенькое и неинтересное, хотя на тебя и направлено.

Впрочем, я думаю, что какая-то часть Эдьки Лимонова, а именно – он как простой парень, в девушке с фронтира присутствует, потому он – Эдька, с ней и в отношениях состоит.

Болел ли у вас когда-либо низ живота болью от многочасового желания и стоящего хуя?

Болел ли он у вас так, что когда вы, распрощавшись с предметом желания – бывшей вашей женой, поднимались по лестнице в свою квартиру ночью, вы не могли ступить шагу и восхождение на четвертый этаж длилось двадцать минут?

А у меня такое было вчера.

А могли бы вы после двух лет разлуки, без памяти, с восторгом и ужасом влюбиться в свою бывшую жену – источающую яд секса, кошмар секса, которую можно ебать в каждый кусочек ее тела?

Елена чуть постарела, ужасающе худа, скелетик, но злодейски красива – крошечные мешочки грудей дико непристойны, узкие неправдоподобно плечики, паучьи ручки, шея, лицо – все горело под моими рукам. Хрупкая маркиза, секс которой способен утолить только племенной жеребец, а то вдруг она затворничает и мастурбирует себя розой.

Бешеный человек, мужик, я поднял ей ее черное парижское домашнее платье до полу, она сидела на стуле, погладил ноги, раздвинул колени в стороны и смотрел на ее бритую щелку. Белый сок желания медленно выступил.

С Лысой певицей пошли на «Эс Энд Эм» собрание, она пригласила, у нее в этой среде большие знакомства. Для непосвященных расшифровываю – «садистов и мазохистов» собрание.

Говорили вначале в огромном красном лофте о финансах и членских взносах. А потом была первая лекция для новичков, как бы «введение в садизм» (в мазохизм обещали в другой раз). Один крепкий парень спустил штаны и лег задом вверх на колени толстой блондинке, которая демонстрировала всяческие приспособления, при помощи которых зад парня положено обработать садистски – плеточки, стегалочки многохвостные, какую-то щекотальную плетку типа лошадиного хвоста, ракетку для битья по заднице (вернее, «это» только имело форму ракетки); «очень пугающий у нее звук», – удовлетворенно отметила хорошо говорящая блондинка. Объясняя, блондинка, обворожительно улыбаясь, стегала парня. После пяти минут перерыва девушка со злым мечтательным лицом подвесила другого парня, с влажной дымчатой бородкой и белым телом к специальному брусу у потолка цепями и кожаными браслетами за руки и стала его бить и щекотать все теми же приспособлениями и целовать губами в губы тоже. Парню оставили только трусики, но потом, когда перевернули его задом к публике, сняли и трусики. Парень дрожал, кажется, по-настоящему.

Садисты и мазохисты мне понравились, несмотря на некоторую их заброшенность, особенно седые строгие мужчины в тонких очках из отдела «бандаж и дисциплина». Вообще, большинство садистов-мужчин носило очки.

Ко мне и Лысой певице эсендэмовцы отнеслись хорошо, ибо черный мужик лет сорока пяти, похожий на доктора, их глава, он же фотограф, был другом Лысой певицы. Периодически он уговаривает Лысую певицу примкнуть к его гарему, из которого в этот вечер я видел двух девочек. Одна – модель, стройная и совсем неплохая – была со мной особенно обходительна.

Позже у меня дома я выебал Лысую певицу, не применяя никаких особых методов. Просто хорошо и глубоко, со вкусом выебал, кончив на ее очень хорошую грудь.

Е.

> А на горах цвели гигантские цветы, которые были видны снизу из долины. А мы с ней были очень больны, в бинтах, оба после операции, и нас возили в колясочках в гости к друг другу, как неожиданно распорядился президент, читавший мои книги, оставляли на солнышке, и она шевелила губами, улыбаясь мне.
> И хоть охрана всегда стояла вокруг, мы были наконец счастливы, что теперь не сможем убежать друг от друга, и все смотрели и не могли наглядеться. А после больницы нас ожидал непременный суд и настежь распахнутая смерть. А на горах цвели гигантские цветы, и странно пахло желтое приморское солнце.

Банк, что ли, ограбить – в отчаянии от голода и безденежья и зависимости от миллионеровой экономики говорю. Но нет, попадусь, мало знаю, не сумею, чужая страна. Совесть бы меня не мучила, что за совесть, какая совесть, лишь непрактично вот в тюрьму идти, много ведь лет дадут.

Заговор же против какого государства составить – это да, и хорошо бы против большого государства, как СССР или США, или Китай. Революцию-взрыв устроить – много, конечно, лет берет, но в случае успеха, ой чего только не приносит! Все. Восторг и упоение! Золотом шитые погоны, расписной мундир, всех женщин обожание. Сотни тысяч юношей, орущих «Ур-рааа!», вытянувшись в рост.

Выгодное дело – революция, если хорошо подумать. А риск жизнь потерять – ну что, и улицу переходя – рискуешь.

А в тюрьме сидеть за банк – глядишь, лет двадцать дадут – глупо же, невероятно глупо.

«Знаю я тебя, знаю, Лимонов. Ты на мавзолее в смушковой шапке стоять хочешь», – говорил мне один проницательный мужик из Симферополя. Ой хочу, ой на мавзолей хочется, и именно в смушковой шапке, или точнее, я бы ее кавказской папахой заменил, чтоб подичее.

Баба – она всему причина. Ох, жуткие оне…

Теперь она хочет, чтобы я исхитрился и как-то завоевал ей какую-нибудь страну, хоть маленькую, предпочитает островную страну. На что я ей ответил так, женским голосом сыграв:

«Ну Ли, миленький, убей президента, – говорила Маринка Пруссакова, подымая юбку и показывая Освальду „это“ – свою пизду. – Не убьешь – не получишь». – «Убью, убью, Маринка», – шептал Освальд. И уходил в тир – тренироваться.

Так я ей сказал. Ведь говорить правду – самое извращенное удовольствие.

И в 1978 году женщины еще говорят такие вещи, как и до нашей эры, и во времена крестовых походов. Кое-каким мулсчинам, не всем, конечно, бешеным собакам вроде меня. Горжусь.

Девочки и мальчики – подростки, на фотографиях стоя за корявыми задубелыми отцами и матерями, дают мне надежду. Глаза их туманно и восторженно направлены в будущее. Ради них следует жить.

Солнечный ветреный день. Какое-то сердцебиение в воздухе. Весна опять приплыла на кораблях с Атлантики зеленой в Нью-Йорк (и серой Атлантики), и у всякого здешнего землянина и землянки душа становится худенькой, сжимается, и резкие, весенние, истощенные культурные профили возникают то ли на дверях захолустного кафе или на желтой стене подветренного дома…

Счастье, мамочка, рвать в это время года на мелкие элегантные квадратики резкое любовное письмо и смотреть, как они уходят в воздух, и подрагивать в тонком ли плаще, в холодной ли коже.

Все умрем, да, и все совершается в миллиардный раз, как однако свежо и впервые заметить маленькое личико злой подружки-девочки, бывшей жены и подумать с ужасом: «любимая».

А у любимой узкие ноги, шальная и взбалмошная щелка под ивсенлорановской юбкой, шуба, подаренная очередным мужем за совершенно определенные заслуги…

Мамочка, в этой весне холода и металла есть необыкновенное волнение, словно вся культура – германские черные дубы и римские статуи окружили Эдьку Лимонова толпой…

Всегда какие-то дяди в секретных неизвестных кабинетах решали, ебаные, социальную судьбу мою. Потому я до сих пор неудачник, что не принимали эти тайные суки – решатели судьбы, мне неизвестные, меня в племя удачных. В России – одной стране света – так было, и в Америке – другой стране – так есть.

Сейчас в глубинах массивного издательства, многоэтажного, коричневого – «Макмиллан» – какие-то американские мужики и бабы решают судьбу моего романа «Это я – Эдичка». Они чешут лбы или смеются, надевают и снимают галстуки, чешут ноги или зад, поправляют очки, черкают карандашом в блокноте, курят и пьют кофе. Их тайное, неизвестное мне заседание чем закончится?

И что это их ебаное будущее решение имеет общего с моей действительной талантливостью и ценностью в мире? А одна баба, по имени Кати, среди них за меня, до самого последнего времени была за меня, как я слышал. Она хочет принять меня в племя удачных. Скушное, честно говоря, племя.

Только я жутко и клятвенно пообещал себе, если даже примут, навсегда остаться тайным неудачником, втайне соблюдать наши обычаи и обряды, разделять наши восторги и страхи.

Крепкое, тяжелое оружие, сверкающее на кипящем солнце. Верю, что будет читать меня молоденький лейтенант перед атакой, на ветреном весеннем холме, а внизу – город, который предстоит взять. И замрет молоденький лейтенант над моей книгой в ужасе и восхищении от

самого себя, читая о том, как ходил Эдичка неузнанный по Нью-Йорку, улыбался и хмурился, как завидовал богачам, скромно стоял в сторонке, сцепив зубы и обхватив в кармане рукоять ножа… Как плакал, придя в отель, плакал от одиночества и энергии – все прочтет мой молоденький лейтенант. И поймет, что было, было общее во мне и моей кепочке с перистым шлемом молодого македонского царя Александра, с сияющим утром, когда рыжий маленький Цезарь обозревал речку Рубикон, а Че Гевара, поправив берет, спускался с гор в западню в долине Боливии. Было общее, если даже я сдохну в дерьме и неизвестности маленьким писателем двадцатого века, бесславно застреленным или сбитым автомобилем. И когда придет восхитительное время атаки, верю, заорет лейтенант, раздирая юношеский рот, натягивая свежевыбритые щеки – «За Эдичку, суки!» – нажимая спусковой крючок автомата. На горной улочке старого города, отбивая встречную атаку контрреволюционных войск.

Тыква. Овощ. Эх, какая желтая. Ох, какая большая, в точечках. Или мандарин (танжерин) чем плох – гладкий, маленький и пахнет прекрасно. Особенно когда снимаешь кожуру, деревенеть и в волокна переходить начинающую изнутри. Я люблю создания природы, и вот вчера у меня была женщина, имеющая огромные груди и маленькие красные соски. Женщина – мексиканка. Много в ней и индейской, ацтекской, очевидно, крови. Я женщину ласкал, а она восхищалась моими руками, и в п. только пальцем и позволила проникнуть, так что о п. я много не знаю, как она у мексиканской женщины.

Впрочем, я не обиделся – это была наша первая встреча – успею узнать.

Еще ее особенность – очень узкие ногти, ноготки скорее, особенно на мизинцах, что при ее росте (она выше меня на два инча), груди и широченных бедрах – странно, согласитесь. И странно похожий на ноготки был у нее узкий ацтекский нос. Так я развлекаюсь с природой, а то жить одиноко и неуспешно.

Когда совсем нет денег и голодный – злоба на мир больше, когда чуть деньги есть – злоба меньше. От гордости и упрямства (не хотелось просить миллионерову экономку о деньгах или еде) я неделю питался то отвратительным куриным бульоном, то луковицей да картошкой. Я много спал эту неделю, выходя гулять, очень замерзал в мартовском воздухе, хотя и глотал перед выходом джин из припрятанной на черный день бутыли.

В таком состоянии вечерние горящие огни и молодые рабы-самцы, растрачивающие свои туго заработанные доллары на молодых рабынь-самок за стеклами маленьких ресторанчиков на Первой и Второй авеню, куда я выходил гулять (бесплатно, слава богу), – вызывали во мне острую зависть.

Как-то, повстречав визгливо высыпавшую из ресторана компанию, я, зверски скособочив и напрягши черты лица, пошел прямо на них, на их лучшую девушку и насильственно разрезал их своим кожаным пальто, сжимая в кармане нож и готовый к кровавой драке, если усатые запротестуют. Ничего не случилось, хотя они и ругали меня вслед.

В один из таких вечеров – в субботний, когда было уже достаточно тепло, я неосознанно придумал себе новую муку – нашел у ресторана «Мартель» два чистых, но старых кресла и решил принести их домой. Для меня, вскормленного водянистым бульоном, который я все время разбавлял, кресла оказались дико тяжелы. Перетащить каждое из них на мою Первую авеню был адов труд – это я понял, когда понес первое. Подвыпившие парочки и компании, вываливающиеся из ресторанов и дискотек, мешали мне идти – я выглядел нелепо, таща эти рваные кресла, разряженные в субботу девки смеялись, из кресел обильно сыпалась на меня желтая труха, все, кто попадался на дороге, были выше меня ростом, пот лил с меня – так, наверное, чувствовал себя в Риме маленький черноглазый раб-иудей, таща за сумасшедшим хозяином тяжелую кладь в какой-нибудь праздник сатурналий, но я сцепил зубы и донес кресло, с облегчением скрывшись в своем подъезде. Втащить его на пятый этаж уже не составляло труда – никто ведь не видел. Упрямый, я подверг себя экзекуции и во второй раз. Выжил.

По истечении недели я сдался и взял у миллионеровой экономки денег – купил кусок мяса и еще другой еды и, поев, сразу стал добрее.

Ходишь, ходишь из угла в угол – работы уже два месяца нет, ходишь, то в окно посмотришь, то спать приляжешь на полчаса-час, то сигарету закуришь, то чаю похлебаешь, то бульону дешевого, то в книжку заглянешь – а книжка пошлая, глупая, отбросишь с гримасой, то в другую книжку, то вниз в подъезд спустишься – в почтовый ящик глянешь – писем нет, на телефон с надеждой взглянешь – молчит, в ванную комнату пойдешь, в зеркало там воткнешься, рожу погладишь, волосы поправишь, где они торчат, либо завиваются, отольешь в туалет, то вдруг воды в ванну нальешь – в ванну залезешь – сидишь в теплой воде, выйдешь, вытрешься – опять к окну потянет.

В окне март сырой, влажность и хмурость, и старуха в окне дома напротив из-за растений как всегда выглядывает, любопытствует, как и я, об жизни, изменений хочет. На старуху посмотришь и опять из угла в угол заходишь, а то на кресла новообретенные, с улицы подобранные, цветными тряпками прикрытые, присядешь – там сидишь. Так часы за часами – время уходит зря. Потрогаешь себя – а не больно, что часы уходят? Нет, не больно, да и все равно не изменить этого. Глупость жизнь, глупость.

А ведь столько энергии внутри, так развернуться бы мог. Хуй ты в этом обществе развернешься, такие баррикады за века на пути личности воздвигли – что общество мне прямой и главный враг. А пойди против – и автомат достать нелегко. Ну и ходишь опять, ходишь из угла в угол. Дни за днями. Что делать – работы нет. На улице же еще грязно и холодно.

Полицейский

Выебав нехотя одну из моих подруг, почему-то взволнованный жаром ее большого тела, вдруг в полудреме вспомнил, как меня пытался соблазнить полицейский, и расхохотался. Дело было еще летом. Приглашенный, кажется, неандертальским мальчиком (а может, и экономкой, точно не

хочу сказать) за город – чуть не к океану, был с одной большой и разветвленной семьей в саду – где, развесив значки и фонарики, готовились все мы – они пикниковать, есть и пить. Хозяин был полицейский, уже и седоватый, и дети его разных возрастов вокруг бегали – жена, крупная женщина с красным лицом, с едой возилась.

Привязывая к какому-то кусту неизвестной породы веревку с шарами и флажками, я обратил внимание на несметное количество пчел, сидящих и висящих над кустом. Это еще что! – сказал мягкий и симпатичный полицейский в шортах, – я хочу показать вам этот куст из дома, из окна, и вы увидите, что с другой стороны там у них гнездо.

Мы пошли в дом. Я поглядел на пчелиное гнездо и вежливо изумился, а полицейский вдруг сказал, взглянув на мои оголенные руки (на мне была тишотка): «А вы хорошо как загорели, прямо коричневый! Да и я хорошо загорел, – добавил он, – хотя я и вообще-то не очень белую кожу имею». И вдруг, быстро стащив свои шорты вниз, оказался голым, с внушительным членом, строго висящим вниз. При этом полицейский полувопросительно посмотрел на меня. Я смутился и, пробормотав: «Да-да, хороший загар…», поторопился выйти из комнаты.

Через полчаса я уже забыл об этом эпизоде и забыл бы, наверное, совсем, думая что мне «это» – он и его член – показались, не понадобись нам какая-то решетка для барбекю, которую полицейский, я и еще один парень отправились искать в бейсмент. Парень, взяв решетку, поднялся наверх, а я задержался взглянуть на спортивные снаряды полицейского. Впрочем, разглядывал я их недолго, так как полицейский опять заговорил о своем загаре и опять в мановение ока обнажил свой вопросительный член. Я отвернулся и убежал и больше уж с ним один на один не оставался.

Полицейские

Часто внизу, напротив моего окна, у витрины магазина стоят два, а то и три полицейских и не то греются на мартовском солнышке, не то кого-то поджидают. Один из них беспрестанно выглядывает из-за угла в улицу. У меня желание, которое я не знаю, чем и объяснить, – бросить, уронить в них гранату или бомбу. Я думаю об этом без всякой злости, как о чем-то само собой разумеющемся, примерно как «есть вот полицейские, и их нужно устранить».

У меня нет ни бомбы, ни гранаты, ни снайперского ружья, которое в мыслях я изгоняю из возможного арсенала устранения полицейских: «найдут по траектории», – думаю я, а потом я хочу осуществить операцию сразу, я не хочу перестрелки. Потому я склоняюсь к тому, что лучше бомба. Сегодня мне даже приснилось, что я бросил в них бомбу, но не из своего окна, а с крыши дома напротив, того, под которым они стоят. Может, их униформа моему желанию причина?

Недавно же толпа пьяных юношей не давала мне спать – топчась и оря на том же месте, где днем прежде топтались полицейские. Дело было к ночи. Их я возненавидел. Мерзкие прыщавцы, – думал я, выключив свет и глядя на них из темного окна сверху вниз, – хорошо бы вас всех по головам, по орущим глоткам полоснуть из пулемета свинцом, чтоб навеки замолкли. К тому же

они пристают к прохожим, даже пожилым. Полицейские в сравнении с ними тихие ангелы. Может, это атавизм, и место под окном внизу я, как князь или доисторический человек, считаю своим. Или как кот, лев или собака. Мой участок охоты? А эти говнюки – наверное, студенты или рабочие или клерки, напившись, себя бог знает кем воображали. Ишь ты – рыбьи головы! Шатались и ругались.

И я, не моргнув глазом, твердо принял сторону зла – ведьм, упырей, грешников, нацистов, чекистов, Равальяка, убившего Генриха Четвертого, Освальда, убившего Кеннеди, Че Гевары и неудачников, никого не убивших, тех, кто всю жизнь до седой головы в швейцарской форме, почтительно склонив голову, стоит в дверях богатых домов и приветствует входящих и выходящих богатых старух и стариков и богатых детей. А внутри себя он все эти годы стоит, сцепив зубы, и что-то в нем растет, выпирает, и по временам он едва удерживается, чтобы не изнасиловать молоденькую дол-голягую Кристин – дочку известного нефтепромышленника, шестнадцати лет, которая весело живет с подружкой в огромной, занимающей весь этаж квартире и к которой часто ходят в гости мальчики и мужчины с воспаленными глазами.

Да, я принял сторону зла – маленьких газеток, сделанных на зироксе листовок, движений и партий, которые не имеют никаких шансов. Никаких. Я люблю политические собрания, на которые приходят несколько человек, какофоническую музыку неумелых музыкантов, у которых на лице написано, что они хронические неудачники. Играйте, играйте, милые… И я ненавижу симфонические оркестры, балет, я бы вырезал всех виолончелистов и скрипачей, если б когда пришел к власти.

Наш город очень имперский. А сегодня мне приснился сон, что в меня влюбилась жена Президента. Картера? Не думаю, что она, – молодая и нравилась мне – блондинка, и я, ее поцеловав и погладив ей руку, договорился о встрече. Она обещала, но не завтра, сказала, потому что должна ехать с мужем в избирательную поездку. И во сне запылили машины – в одной из них кто-то стоял в белом костюме и говорил речь о джеме-повидле. А дорога была говенная, с выбоинами, и седоки в машинах подскакивали, как куклы.

Эдинька, как расстреляться хочется!

Чтоб меня встречали как мальчика первоапрельского, радостного, возбужденного – в комнате для гостей, где каждый поворот и движение что-то необыкновенно сентябрьское или апрельское значат. Нервного мальчика меня бы. Наблюдали бы, ахали.

Эту цивилизацию нужно разрушить везде на Земле – и в России, и в Китае, и в Америке. Разрушить ее и объединить для этой цели всех, кто не удовлетворен. Никаких избранных классов, никаких рабочих диктатур, чем это фабричные лучше любого другого человека? Глупость, лучше тот, в ком ненависть к цивилизации больше. Мы не отвечаем на вопрос, что мы построим на освобожденном месте. Мы говорим – «наша цель – разрушение». Не до основания, как в Интернационале-песне поется, а ниже, с корнем, без остатка, до пыли, как разрушали древние города победившие, и плугом после прошлись.

Все придут. Хулиганы и те, кто робок (робкие хорошо воюют), драг-пушеры и те, кто распространяет листовки для борделей. Придут мастурба-торы и любители порножурналов и фильмов. Придут те, кто одиноко бродит в залах музеев и одиноко листает книги в залах христианских бесплатных библиотек. Придут те, кто слоняются по Мэйси и Александерс, не имея денег, чтоб купить, – убивают время. Придут те, кто два часа пьет голый кофе в Макдональдс и тоскливо смотрит в окно. Придут неудачливые в любви, деньгах и работе и те, кто по несчастью родился в бедной семье.

Придут те, кому все надоело, кто уже истратил часть жизни на бесконечную нелепую службу в банке или в универсальном магазине. Придут шахтеры, которым надоела шахта, придут рабочие фабрики, которые ненавидят фабрику. Придут бродяги и кое-какие почтенные семейные люди, осатаневшие от семьи. Придут солдаты из армии, и придут студенты из кампусов. Придут храбрые и сильные из всех областей жизни, отличиться и добыть славы.

Придут гомосексуалисты, обнявшись парами, придут любящие друг друга юноши и девушки, и придут лесбиянки в ярких нарядах. Придут актеры, и придут художники и музыканты и писатели, труд которых никто не покупает.

Все заявятся. Возьмут оружие и покончат с этим порядком навсегда.

И город за городом занимают революционные войска неудачников. И солдаты имперской армии, вслушавшись в кровь многих поколений неудачников, текущую в их жилах, – вспоминают о своем рождении, срывают имперские отличия и с восторженными глазами и цветами на шляпах идут к своему родному племени, обнимаются с родными.

Город за городом, начиная со взрыва в Великом Нью-Йорке, Америка становится свободной, и я – Э. Л. иду в головной колонне, и все знают и любят меня. И волосы мои выгорели от революционного лета.

И рушится все античеловеческое – банки, конторы, суды, фабрики и химия, железо и другая гадость.

Я не хочу ее ебать уже (Лысую певицу). Это не мой кусок. Не возбуждает. Еле два раза выебал. Я все равно смотрю на нее как на что-то грубое, как на плотную девицу с жопой и ляжками. Меня не возбуждает это. Я несчастный человек, а? Мне бабы-то не нужны, оказывается. И зачем я их грудастых подбираю, а? Грудастых и грубых.

Теперь во мне окончательно сформировался идеал мой, мой секрет – девочки или мальчика нежных, с неразбухшими членами, худеньких, хрупких, в мире как в зачарованном саду живущих. На сына одной богатой леди смотрел с упоением (не сексуальным), когда он сидел в вечер дня рождения матери в сером пиджачке, таком же жилете, цветном галстуке и черных бархатных брюках, с темными длинными волосами – одиннадцатилетний князь.

Девки же – друзья мои хорошие, ничто больше. Теперь мне понятны все мои муки. А Лысая певица ушла вся с прилипшим к ней моим сумасшествием. Теперь, когда вы так понимаете себя – Эдвард, не тащите к себе девок, подбирая их на парти или еще где.

Если вы можете проснуться однажды дождливым весенним утром, полежать, подумать, послушать музыку и честно сказать себе вдруг: «А ведь я никто в этой жизни – говно и пыль», тогда на вас еще рано ставить крест. Только честно, не для людей, а для себя признаться.

Арифметика

Весна. Есть хочется.

У миллионеровой экономики еды много, и разная.

Но я хочу свою еду, и потому, украв из ее копилки 95 центов, я ухожу.

Мои личные последние деньги – один доллар и пятьдесят центов.

В магазине я покупаю курицу. Вес – 2,66 паунда, цена за паунд 69 центов, моя цена – один доллар восемьдесят четыре цента.

У меня остается 61 цент.

В сигаретном киоске я покупаю за 60 центов «Кент» и иду счастливый домой.

В кармане один цент.

Улыбаюсь ночью в зеркало в ванной сам себе на комедию жизни.

«Что, дружок, – комедия, а?» Эх, комедия, точно. Да, комедия. Смешно, ей-богу, обнаружить себя вдруг в Америке, в ванной ночью, живешь один, и улыбнуться. Даже рассмеяться, впрочем.

А свет не зажег, только из кухни проникает.

Жду из этого «Макмиллана» решения, жду… до этого из других ждал.

– Терпи, терпи, до чего дотерпишься. В один прекрасный день проснешься старый, как подметка, и все болит, и уже рука не сможет поднять винтовку.

Ах, как я часто мечтал и мечтаю о красивых, безумно красивых девушках, а их у меня нет, что когда я достигну наконец их, когда у меня будут деньги купить их – и взберусь на них ебать – мне кажется, у меня будет только желание убить их, и ничего иного.

Убить sa то, что не шли ко мне, пренебрегали мной, когда я был юн и талантлив, как цветок, верил в ослепительную любовь – солнце. А они придут, когда я буду гадкая старая крыса.

Вчера привезли очень старую и элегантную мебель – высокие стулья, обтянутые вишневым бархатом, огромный стол на резных ножках, буфет с резными стеклами, бар.

Уже месяц вся квартира из трех комнат принадлежит мне – ушел мой руммейт еврейский мальчик, и теперь миллионерова экономка платит третью часть квартирной стоимости, а живет все там же, по месту работы – в миллионерском домике. Возможно, с помощью этой мебели и денег она хочет постепенно меня захватить. У нее свои цели. Мое дело – не даваться.

А жизнь все же постепенно налаживается. И хотя мне не на что купить хлеб, я, всецело зависящий от миллионеровой экономки, чувствую себя буржуа.

А что, так и надо – думаю я, любуясь двадцатью бутылями алкоголя, которые я уже поставил в бар. Нельзя, чтоб жизнь стояла, и куда-то жизнь обязательно должна идти. Пусть ее идет под моими усилиями и моим водительством – ведь это я снова строю свою собственную гармонию, разрушенную Еленой. Оно конечно, когда-то разрушится и эта. Но таков удел человеческий. И выпиваю рюмку сладкого алкоголя, и целую рюмку, как дитя, «За удачу!»

Для поднятия настроения и физического развития тела ранними утрами он гулял. Сегодня он поставил себе целью отмахать тридцать улиц до издательства «Макмиллан», посмотреть «как там», и вернуться обратно.

Был ветер, издательство было на месте, он попытался проникнуть внутренним взором в его толщу, напрягся, но понял, что бесполезно, очень быстро, и повернулся уходить.

В этот момент именно двое почтовых рабочих с трудом прокатили мимо него огромную бадью с почтой. Писем не было, одни пакеты, толстые одного размера пакеты. «Рукописи» – с ужасом понял он. Бадья рукописей. Два или больше, три кубических метра рукописей скрылись в глубине издательства. От необъятности человеческой деятельности ему стало плохо.

Напялил кепку и ушел, не переставая отыскивать спиной свою – уже два месяца лежащую где-то в глубине «Макмиллана» – нервную книгу.

Хорошо горячим весенним солнечным днем пойти в затененную шторой спальню и лечь спать. А чтоб с улицы долетали смутные гудки автомобилей, невнятный говор. Хорошо уснуть с тобой, обнимая тебя, тонкую. А проснуться, уж и темно, и фонари горят. И ты наденешь свое чудное, дурацкое платье, и мы пойдем с тобой в цирк, смотреть лилипутов и зверей.

Я теперь каждый день работаю. Возвращаюсь очень усталый. А в «Нью-Йорк Таймс» и во всех расцветных журналах красивые девки, ах, во всех рекламах. Красивые, холеные с виду, притягательные. Только и трахать, и жизнью наслаждаться. Аи нет, другие – богатые и бездельные ебут и лапают красивых девок в ленивые летние полдни, а ты ездишь по дождю и пасмурности, обозревая американские скушности и льющий вокруг машины дождь. Рабочий ты, бедный, угнетенный, национальное меньшинство, починяющее икс-рей машины, сверлящее в бетоне дыры, крутящее болты, красящее для компании «Би энд Би». И никогда тебе, хуя тебе, не напечатать твою вредную книгу, не подняться тебе из говна и грязи. Так и умрешь рабочим, низкооплачиваемым в кепочке, пиздующим с задумчивым взглядом во все эти Лонг-Айленды по утрам…

Чистые богатые люди. Они вспоминают о мастурбирующих с презрением. Они-то не мастурбируют. Они всегда имеют кого поебать. Красивых ебут они, высшего качества. Это наглая правда, которой следует смотреть в глаза.

Вот все и разрешилось. Отказало мне американское буржуазное издательство «Макмиллан» в напечатании моей книги. И женщина Кати не помогла. После телефонного звонка моей агентши пошел я в богатый дом штукатурить и красить потолок. Простояв весь день на лестнице с задранной головой, к вечеру очень устал, и когда шел домой в летней поздней темноте грустно ругался вслух. Была пятница, и гудящая толпа рабов всасывалась ресторанами и театрами. На издательство «Макмиллан» я истратил почти полгода. Сорок таких сроков, и я буду уже неупотребимым старцем. Как страшно!

Ну, умрет богатый мальчишка от рака, и хуй с ним.
И пусть красивый и жаль его – а вот хуй с ним!

Я вот у них потолок красил – так в бейсмент-подвал за пылесосом спустился – там собака ростом с теленка годовалого заперта и за перегородкой два щенка чуть не по сотне паундов каждый. А еще

две взрослые собаки той же породы по дому разгуливают. Огромные. Вонь. Сор. Грязь. Конюшня чище. Как в сортире богатые люди живут. Что толку, что ковры да гобелены, да духи на шею да за уши капнуты, когда как в сортире живут. И везде грязные тряпки. Оттого и рак, что безделие и гадкий воздух в доме. Ну, умрет богатый мальчишка – так и надо. Почему же мы – я им потолок крашу да грязь подбираю, а югослав вещи таскает и упаковывает, а китаец – домашний раб; почему мы работаем, а они в гнилом своем гнезде сидят, не работают и собак-дармоедов кормят. Они что, талантливее нас с югославом?

Нет. И югослав умно рассуждает, и я не из последних – есть и руки и голова. А старый китаец на флейте играет и фортепиано. Мы им все делаем, а что они нам всем делают?

За что им деньги дадены?

Бог не Бог, а рак вовремя поспел – что-то вроде возмездия получилось. Пусть умрет богатый мальчишка, я даже и рад буду. Какого черта, зачем притворяться я должен, что умиляюсь, что сочувствую, что жаль. Не умиляюсь, не сочувствую, и не жаль! Моя-то жизнь – серьезная и единственная – ими, суками, угрохана, всеми ими вместе. Помирай, мальчишка обреченный! Никакие тебе кобальты и деньги не помогут. Рак, он почтения к деньгам не питает. Ему хоть миллиарды давай, не отступится. Ну и правильно, хоть в этом все равны. Как московский слесарь Толик сорока четырех лет, умрет мальчишка.

Я всегда смотрю в лица людей на улице. Тех, что могут убить, очень мало. Это не обязательно угрюмого и зверского вида мужчины. Среди тех, кто может убить, я встречаю женщин, очкастых задохликов и даже во множестве детей. «Могут убить» – в моем понимании это те, кто могут сейчас же, сию минуту, вне зависимости от личной силы и вне зависимости от чьей-то силы, от того, что сами могут быть убиты, – убить.

«Может убить» – это определенная, рожденная вместе с человеком, доставшаяся в крови и понятая решимость убить.

Таких людей лучше не трогать. Лучше не требовать у них денег, если ты грабитель, лучше не обзывать их, не толкать, лучше с ними не связываться. С такими не остановишься на полдороге, и если у тебя самого нет решимости убить – оставь их, уходи подобру-поздорову и не оглядывайся. Если ты не убьешь такого – он убьет тебя.

Уже тому три года, как я понял, что могу убить. И выходя на улицу, я это твердо знаю. Для этого у меня и нож с собой. Не задумаюсь. Не заколебаюсь. Не стану думать о возможном наказании. Тронут – убью. Потому я живу спокойно и ничего не боюсь. И хожу везде, где я хочу.

А вообще-то я очень безобидный.

Классификация

Поэтесса Л. неплохая девка. Но и ничего особенного в ней тоже нет. Класс «Ди». Они все у меня класс «Ди» сейчас.

Соня – евреечка из моих первых месяцев одиночества – была «Ди», но вообще-то «Е» в Америке, потому что русская. Моя агентша С. – класс «Би» определенно. Но я ее не ебал, у нас деловые отношения.

Мне очень хочется взбежать скорее по этой лестнице, переместиться на класс «Си» хотя бы, но полное отсутствие денег, успеха и, главное, – связей, мешает. Лучшее место, где знакомятся, – парти конечно же, но меня приглашают на те же «Ди»-парти только.

Миллионерова экономка стоит особняком, она относится к разряду не женщин, но, может, ангелов. Бесполый крестьянский ангел, стоящий на обочине дороги, ведущей к храму. Я ее все больше уважаю, она мой единственный родственник на этой земле, потому из классификации я ее исключаю.

Почти все девушки и женщины из окружения итальянского корреспондента, который написал обо мне статью, – «Си», а некоторые даже «Би».

Класс «А» – очень красивые, очень талантливые, очень богатые – я встречал только на нескольких парти, когда только приехал в Америку и еще имел богатых знакомых.

Я думаю, что ниже клгсса «Ди» существуют еще «Е», «Эф» и, может быть, «Ай». Да, я думаю, это точно. Так что мои девочки попадают точно посередине. Они средние.

Выше класса «А», я верю, существует только одно создание. Вот за ним я и охочусь. Но где оно, я не имею понятия.

Дрянное жаркое лето стоит. Мертвый сезон.

Книга моя лежит сразу в четырех издательствах, где ее лениво читают. Я снова жду, идут дни, и вот это и есть ежедневные убийства, которым подвергает нас цивилизация.

Выбелив и отштукатурив в прошлом месяце две квартиры, теперь я один день в неделю чищу пылесосом и мою миллионерский домик, за что мне и платят средние деньги. Жизнь еле шевелится – единственное изменение в ней – мне досталась задаром какая-то живность – шестнадцать зеленых растений – богатая семья уехала в Сан-Франциско. Среди растений две пальмы. Новая моя обязанность – поливание растений – доставляет мне удовольствие, при этом я с ними еще и беседую.

Издательства же, как темные башни, мерцают на заднем плане моего сознания, и я с надеждой и ненавистью вглядываюсь в эти темные башни. Убийцы!

Писатель

Напротив жил писатель. Занавесок у него на пятом этаже не было – писатель жил открыто. Почти каждый вечер в одном из окон, а именно там, где помещалась писательская кровать, появлялась девушка, одевающаяся или раздевающаяся. Девушки у писателя обновлялись каждые несколько дней. Одни из них, одевшись, уходили – на ночь не оставались, другие оставались и не уходили. Тогда утром в квартире писателя дребезжал звонок будильника – девушкам нужно было утром вставать на работу (такие у писателя были девушки), писатель голый бродил, натыкаясь сонно на мебель, ругался, проклинал девушек и их работу, радовался, когда они уходили, и засыпая, давал себе слово никогда больше не иметь с ними дела. Но к вечеру, отоспавшись, опять звонил какой-нибудь девушке, приглашая придти и послушать, что он новое написал. Писатель, как вам уже, очевидно, давно стало понятно, был слаб на передок. И то, что он слаб на передок, жителям пятого этажа из дома напротив было хорошо ясно.

А отель мой последний, «Эмбасси», закрыли, из санитарных соображений и соображений безопасности, из-за грязи, скандалов, грабежей, ужаса и разрушения внутри. Об этом мне маленького роста девушка Тереза сообщила по телефону. «Как ты там мог жить, Эдвард?» – спросила девушка Тереза. Как мог? Да так и жил, с ножом в сапоге ходил, меня никто никогда не трогал, я везде могу жить, что мне. Жалко отель «Эмбасси» и грустно по его поводу – восемь месяцев жизни провел я там, и не таких плохих, памятных. В окно у меня солнце рано утром вливалось. Жизнь есть жизнь. И будто бы плохая – она хорошая.

Позвонил старому другу из дождя, третий день дожди. «А ты что, в такой дождь на улицу выходишь?» – испуганно спросил он, услышав в трубку гром.

«Большое дело!» – сказал я.

– Взял я тут книгу одну в библиотеке, читаю – о десятых и двадцатых годах в Париже, опять перечитываю. Да, вот это время было, не то что сейчас – безвременье… – так он кряхтел об ужасной погоде, и еще что-то старое и дряхлое добавил.

Хотел я ему сказать, что по последнему, самому честному счету, он просто ленив, что жена его деловитая, заслонила его от жизни – жестокой, тяжелой, но и радостной. И что это ему в большой вред обернулось. Что живет он в Америке уже несколько лет, а языка не знает, людей не знает, и что если еще так продлится, сойдет он с рельс, сойдет с круга, и каждодневная его домашняя работа в искусстве ему не поможет. А про себя я грустно понял, что это уже случилось. Слаб он, нет у него сил дальше идти. Ему бы пойти в жизнь, но он держится за теплый халатик жены, да и живет в скорлупе квартиры. Снаружи огромный мир, и ему боязно. Ему б хорошо, если б жена умерла или ушла от него. Талантливый он человек, спору нет, да только к таланту еще и сила нужна.

Один я остаюсь, уж никого, кто со мной в дорогу когда-то вышел, нет со мной. Елену поглотило ничего и ничто, а теперь и друг вот трясиной всасывается. Старая он стал жопа.

Старушенция из дома напротив, пожалуй, рада и довольна – теперь ей есть на что посмотреть. Дом рядом с моим обвалился в то время как его сносили, ну теперь старухе потеха и удовольствие – глядит, как рабочие снуют, как развалины вывозят, полицию смотрит, народ столпившийся, пожарных. Уже пять дней наслаждается.

Это ей Бог послал. А то скушно ей было – что ж на нашей улице – ничего особенного не происходило. А тут, в упор взгляда от нее, дом обвалился.

А мой дом частью поврежден, нет газа, и из некоторых квартир выселены жильцы. Вечно меня стихийные бедствия сопровождают – то в «Эмбасси»-отеле два пожара пережил – с чемоданом с рукописями все бегал, а тут вот дом обвалился…

Я выбирал на улице самых слабых, жалких, несчастных и страшненьких девочек, охотился, шел за ними и приглашал к себе. Длинноносые, малорослые лилипутки, девочки совсем без грудей, те, у кого попка почти волочилась по земле, девочки с нехорошей кожей или редкими волосами, те, у кого между зубами дыры, очень тонкошеие или девочки с большим животом и очень толстыми ногами – все они побывали у меня дома. У нескольких отсутствовали волосы, и они носили парики.

Я выбирал их не только по несчастному виду, но еще и по особой затравленной нервности, какой отличалось их поведение на улице. То они еле плелись, то вдруг едва не бежали, беспрестанно оглядывались, или беспричинно улыбались, или говорили сами с собой.

Я выяснил, что эти-то отверженные чувственны и интересны в сексе куда более, чем обычные женщины, и неизмеримо более интересны, чем красивые женщины.

Тающие свечечки, в которых с первого взгляда едва теплилась жизнь, оказывались сладострастны и неутомимы. Девочки с большим животом излучали такую похоть, как сама мать земля, в складки этого живота хотелось закутаться и укрыться под ним от несчастий. И девочки с дистрофическим худым телом скелетиков (мои самые любимые), таким, что через их живот вы свободно могли увидеть и прощупать собственный член, горели адским пламенем.

Начал я охотиться за уродцами по несчастью. Красивые женщины, избалованные вниманием, со мной не ебались, у меня не было денег, чтобы водить их в рестораны и социальные места и тем поддерживать их слабую чувственность, потому я и обратился к жалким отщепенцам, крадущимся на улице вдоль стенок и в самоунижении боящимся глядеть на людей. Теперь я уже не сменяю мою коллекцию дефективных существ на гарем красавиц. Моих дистрофиков и лилипуток мне не заменит никто.

Исстрадавшиеся без хуя, они льнут ко мне, как горячие растения.

Миллионерова экономка, которой я уже доверял как самому себе, меня оставила. Так всегда бывает – удар приходит оттуда, откуда его не ждешь.

И несмотря на то, что миллионерову экономку я не любил, теперь мне неспокойно, тошно и больно. Ранее я знал, что кто-то меня любит на этой земле (она) и что мне есть куда пойти. Миллионерский домик был мне как клуб, я – одинокий бродяга – нашел в миллионеровой экономке учительницу и собеседника. Она давала мне деньги и еду. Короче говоря, известие о ее измене я принял с горечью.

Случилось все это в Калифорнии. Она нашла там такого же крестьянина, как она сама. Он имеет книжный магазин, а миллионерова экономка всегда питала слабость к культуре, чему свидетельство и я. Когда я, поругавшись с экономкой из-за пустяка, уехал из Калифорнии, она осталась и с владельцем магазина поеблась. Почувствовал ли он, что она совершенно фригидна, может, он тоже мало что чувствует, или они друг другу подошли, а я и она друг другу не подходили – этого я не знаю, но теперь миллионерова экономка собирается ехать с мебелью и всем, что имеет, в Калифорнию. Квартира моя останется голой, миллионерова экономка мебель заберет, сам я останусь голодным и неверящим в простых добрых девушек, способных пройти рука об руку с талантливым человеком его тяжелый путь, весь, и умереть с ним в один день.

Хотя я изменял миллионеровой экономке несчетное количество раз, со всеми, с кем мог изменить, даже с ее подругой, я всегда тщательно это скрывал и даже теперь не рассказал ей об этом. Я не злой человек, и несмотря на все измены, по-своему, духовно был всегда верен ей и не хотел ее обидеть.

Мне грустно, что у миллионеровой экономки не хватило терпения и она останется там, где была – среди своих полудеревенских друзей навеки. А этот ее крестьянин в клетчатой рубашке, мне кажется, с ней долго жить не будет, у него слишком масляное лицо. И возможно, миллионерова экономка уйдет глубоко в свою марихуану и останется навсегда одна. У всех женщин, с которыми я имел дело в своей жизни, очень несчастливые судьбы.

Иногда во сне мне видятся экономка и ее крестьянин, занимающиеся любовью, и хотя я убеждаю себя, что она фригидна, – мне все-таки больно.

Я один из тех, о которых в старых пьесах Чехова и О'Нила писали в ремарках: «Входит слуга, вносит чашку чаю» или «От станции доносится песня фабричных».

Еще я клининг-мэн, можно меня еще называть «вакуум-мэн», потому что я работаю с вакуум-клинером, иначе пылесосом. Еще я и полотер, потому что после того, как почищу

миллионерский домик, все пять этажей пылесосом, я мажу полы желтой ваксой (вонючей), а затем натираю их машиной со щетками. Это я делаю по субботам, ради чего и в Нью-Йорк езжу на поезде.

А пять дней в неделю я землекоп, каменщик и плотник в деревне, в ста милях от Нью-Йорк Сити, в долине многоводного Гудзона, куда я сбежал от миллионеровой экономки.

Я, мы появляемся обычно «из боковой двери», с черной лестницы. Наше место – людская или бейсмент, где мы топим печи, стираем, гладим и прочее. А если постареем, лежим на печи из милости и распространяем неприятный запах.

Днем я работаю землекопом и каменщиком. Вечерами я, в основном, жру. А после девяти иду спать.

Если мне удается раскопать что-то особенное в холодильнике в доме женщины, у которой я работаю, – я безумно радуюсь.

Сегодня, например, я откопал очень вкусную колбасу. Я ел колбасу весь вечер, вначале нерешительно, «съем еще только кусочек», а потом, найдя в другом конце дома еще мясо, – решительно и энергично.

«У нее же есть еще мясо», – сказал я себе.

Вдруг на колбасу села синяя шумная октябрьская муха, бомбардировщик хуев. Мне давно уже надоел ее гадкий и наглый, тяжелый шум, а тут она села на мою колбасу. Я озверел и коротко и резко убил муху первой главой книги, которую я очень ленюсь писать. И опять стал есть эту превосходную, пахнущую чесноком колбасу. Так или приблизительно так я провожу мои вечера после работы. Сижу за большим грязным столом, одетый в двое порток и пять свитеров (отопления нет), под настольной лампой, и жру да жру.

Когда глубоко роешь землю, всегда находишь умерших животных – мышей, лягушек или даже степных сусликов или кротов.

Вот и сейчас мы вырыли большую яму и каждый почти день находим в ней мертвых животных. Лягушка окоченела (поздняя уже осень), суслик мертвенький поджал хвостик, мышь лежит белым беззащитным брюшком вбок – брюшко опухшее. Объелась, что ли.

Наша яма очень большая. Мы вычистили, подмели нашу яму, приготовили ее как невесту. «Наша яма – невеста!» – так я объявил ребятам. Гомосексуалист Карл сказал, что это блестящая метафора.

Я стою в яме и пью кофе, который мне дал Карл. Яма как беременная невеста. В яме еще скала – белая, как живот.

Такая же белая, как и коричневая, как живот.

На Первое Мая (в капиталистических странах на другие праздники) женщины всегда выпьют, раскраснеются, станут веселые и на ощупь мягкие. Духами от них запахнет и таинственными они сделаются. А к позднему вечеру, после танцев, им хуй подавай. Без хуя ни одна не желает уйти. Тут наступит молчание и ожидание.

Некоторые, очень некрасивые, все же уходят без хуя.

Смерть нужно встречать твердо и красиво – с позою, с вызовом, выпендрившись, празднично, лучше всего с улыбкой.

Хочешь не хочешь, можешь не можешь – надо.

Колени трясутся – уйми, подвигайся, чтоб скрыть, глаза слезятся – а ты хохочи, будут думать – от смеха.

Смерть самое важное дело. К ней готовить себя нужно.

Плохой смертью самую доблестную жизнь можно испортить.

Рождение от нас не зависит, смерть – зависит.

Истеричность, поспешность – тоже нехороши.

Нужна мера. Уходить-то все равно надо. Но никогда не хочется.

А ты уйди или очень важно, сухо, степенно, а лучше по-хулигански, с посвистом, с – «Эх, вашу мать!»

Хорошо в белых брюках, с короткой лопатой, чуточку пьяным, сажать астры с двумя молодыми девушками-сестрами в октябре. Черный свитер, бархатный лиловый пиджак в обтяжку, крепкие сапоги, белые брюки землей перепачканы, и светлая кепка. И астра в нагрудном кармашке.

А одна сестра только что перенесла тяжелую операцию, у нее бледные губы и щеки, она смотрит кротко и сдержанно.

Посещая пустую усадьбу на самом краю поселения – дальше уже начинались холмы и поля, – я подолгу сидел на террасе, покачиваясь в деревянном кресле и смотрел на вершины деревьев, а на меня падали листья, такой бьш сезон красных обильных листьев.

Еще я подымался между кустов и деревьев на холм, садился на сваленные у забора давно когда-то бревна и ждал сумерек. Или я пил чай, или ложился на спину в траву и молчал.

Качалка, если я на ней качался, пела одно и то же: «Ю ар гуд – Эди… Ю ар гуд – Эди… Ю ар гуд – Эди…»

Листья говорили мне о бессмысленности всяческих построек, а чай – чай был для воспоминаний. Еще для воспоминаний хороши сигареты, но сигареты кончились два дня назад.

Так я посещал старую усадьбу, заглядывал в пустые комнаты, смотрел в шкафы, сидел рассеянно на размалеванной, как икона, деревянной кровати. У меня было впечатление, что жизнь моя кончилась, что я отставной не у дел старик, что это моя собственная усадьба. Но грусть моя была лишена личной боли. Еще неделя, кончится работа для меня, и я покину поселение, это только остановка в задыхающемся беге моем.

Мне было хорошо вчера в старой усадьбе, где с одной стороны было только открытое небо.

Таскаю песок для раствора или разравниваю по просьбе хозяйки поверхность усадьбы. И столько червей! Извиваются под лопатой.

Симпатичные простые черви.

Я люблю червей. Они мои самые любимые животные.

Если они попадают в цемент, я их аккуратно вынимаю.

Сейчас вот только холодно им, бедным, в конце-то октября.

На почве по утрам уже заморозки.

Работая здесь, в холоде и грязи, без горячей воды и никаких развлечений, пришел к выводу, что в содержании людей в концентрационных лагерях нет ничего такого страшного. Работа, да, холодная, а что лишены они мелких частных инициатив (любовь, рестораны и прочее), так это даже хорошо. Большинство людей все равно не знают, что им делать со своей жизнью, куда ее девать. А пойдет или не пойдет Джек в ресторан сегодня – земля от этого не расколется. Все равно жизнь людей бесполезна – большинство поедает то, что производит, так почему бы их не собрать в группы, поселить вместе и почему бы не занять их работой и тем избавить от всех забот. А то поддерживай детей, жену, плати налоги…

Сейчас пришло время мне изменить имя на «Comrade Z.» и начать новую жизнь. Средневековые китайцы с каждым новым этапом жизни брали ведь новое имя. Скрыться следует от прежних

знакомых, в подполье уйти, войну всем объявить. Лучше уж воевать, чем землю копать. А? Воевать много легче, только что риск, что убьют.

«Мистер Зэт». Миллионерова экономка, которая осталась моим ближайшим другом, сказала, что американцы будут произносить мое новое имя как «Зи».

Хороша ты, пуля. Отомстительна ты, пуля. Пуля, ты горяча.

Хорошо с близкого расстояния выстрелить в выпуклый дряблый живот Президента Соединенных Штатов Америки, защищенный только фермерской клетчатой рубашкой, угодив как раз посередине двух широких спин, в духоте выставки достижений фермеров Айовы, где-то в районе гигантских початков кукурузы и быков, поливающих землю желтой струей, проделывающих в почве дыры. Побежать в направлении новеньких тракторов, вбежать в экспериментальный коттедж и захлопнуть дверь…

И пока они лезут в двери и окна – выпрямиться на несгораемой крыше и пустить себе жаркую пулю в висок.

Прощайте!

Захар Прилепин[72]. Семь: ноль Слово о Лимонове

Всё было как надо, и, наверное, иначе быть не могло. В "Анатомии Героя" Эдуард Лимонов пишет, что проиграли все. И Христос. И Че. И он, Лимонов. Это нормально — проиграть в такой компании. Впрочем, подбивая некоторый, далеко не окончательный, баланс, осознаёшь, насколько красивый всё-таки получается расклад.

Воздействие лимоновской прозы было, помню навсегда, оглушительным. Ничего, подобного Лимонову, в мировой литературе не случалось. И, сколько бы ему ни подражали (а ему подражают десятки и даже сотни литераторов, и не только в России) — подобного уже не будет. Другие родятся, но таких — не ждите.
Сознание подростков, впервые прочитавших "Это я, Эдичка", "Дневник неудачника" и "Книгу воды", будет взрываться до тех пор, пока есть подростки и есть письменность. Это — на века.
Так что, во-первых — великий писатель. Счёт "1:0" в пользу Лимонова.
Поэта Лимонова большинство узнали чуть позже, чем Лимонова как автора роскошной и наглой прозы.
Что греха таить: я, воспитанный несколько консервативно, поначалу не смог оценить в полной мере несколько попавшихся мне на глаза в конце 80-х стихов Лимонова. Но, к счастью, я становился взрослей — и шаг за шагом дорастал до этих стихов. Теперь дорос до такой степени, что они про-

[72] Прилепин З. Семь: ноль Слово о Лимонове // Газета «Завтра» . 13.02.2013 - http://ed-limonov.livejournal.com/663923.html

росли в меня. Десятки, или даже сотни лимоновских строк вспоминаются мне в самые разные дни и минуты — и, бывает, я произношу одну лимоновскую строчку, жена отвечает второй, а дети знают третью.

Год назад я собрал огромный том изданных и неизданных (свыше трёхсот вообще никому не известных) стихов Лимонова. Переслал ему. Он ответил, что пока не будем издавать. Я сказал: ок. Но я-то знаю, какие чудеса имеются у нас в запасе. Лично у меня имеются, завидуйте.

Лимонов — поэт уникальный, волшебный, зачаровывающий. О поэте Лимонове ещё напишут не десятки, а сотни книг, и томики его, с ненавистным Лимонову золотым тиснением, будут стоять в головах лучших русских девушек — до тех пор, пока русские девушки водятся в природе. И, значит, счёт "2:0".

Любой учебник новейшей российской журналистики (а такие сейчас стали появляться) выглядит нелепо, если там нет отдельной главы про газету "Лимонка". В России есть красивые журналы и неглупые таблоиды, но есть ли хоть одно издание, что реально воспитало целое поколение? По мне, "Лимонка" — вообще лучшая газета из всех, существовавших когда бы то ни было. Громокипящая, взрывоопасная, создавшая свою эстетику, свой юмор, свою интонацию. От этой газеты шёл такой драйв, что подзарядиться могли даже впавшие в кому.

Но это была не просто газета. Это была священная книга. Это был свод героических былин, сага о Нибелунгах, Илиада и Одиссея. И "Лимонка", да, воспитала целое поколение русских мальчиков и девчонок. Лучших из поколения.

Но, что тут скрывать, "Лимонку" читали не только безбашенные максималисты и провинциальные эстеты — её внимательно изучали все ведущие представители будущего "креативного класса".

И всё, чего есть в нынешней "креативной интеллигенции" хорошего, — это, во многом, привито "Лимонкой". (А в этой интеллигенции определённо есть много хорошего — потому что из скотоподобного, аполитичного, жвачного стада 90-х её представители парадоксальным образом превратились в чувствующих, внесистемно мыслящих и, страшно сказать, патриотически настроенных людей).

Создал эту газету — великий редактор Лимонов. И не просто редактор, а человек, научивший огромное количество журналистов и журналюг делать отличную публицистику — яростную, саркастичную, очень живую — такую до Лимонова тут не делали вообще. Так что, публицист и редактор. Даже этой ипостаси ему хватило бы, чтоб войти в историю. И счёт "3:0" в его пользу.

Парадоксально, но Лимонов мог бы ничего и не писать — а только жить — той жизнью, что он жил. И даже в этом случае он был бы, как минимум, примером если не для подражания, то для восхищения.

Сам он как-то сказал, что книги погубили его — видимо, в том смысле, что он желал бы вместить в свою жизнь куда больше жизни как таковой, со всей её страстью и кровью, а не с буквами и абзацами.

Нам этого, конечно же, не хотелось бы, тем более, что Лимонов и так — идеальный персонаж для романа, на глазах превращающегося в житие. Созидатель собственной биографии, ставшей Судьбой.

Московская богемная юность, эмиграция в США, жизнь в Нью-Йорке 70-х — это гостиницы для бедных и чёрные кварталы, эта работа хаузкипером у мультимиллионера... Даже сейчас, когда в Америку ездят все подряд, лимоновская история кажется диковатой, а каково её было узнать в первые постсоветские годы, когда само словосочетание "американский миллионер" обладало почти мистическим свойством.

...А потом Франция, парижские салоны, французские "левые" и "правые", и вполне логичный (алогичный только для европейских буржуа) перелёт из этих салонов в Сербию, где этот вчерашний завсегдатай вечеринок для селибрити в Париже, позавчерашний житель негритянских гетто,

встречающий очередной Новый год в компании чернокожих проституток, — вот этот, говорю, странный и удивительный тип, бежит с автоматом в руках в атаку... пьёт с сербскими полевыми командирами ракию... общается с будущими фигурантами судилищ в Гааге.
...А из Сербии — на улицы Москвы, в кровавые мясорубки у Дома Советов, и потом в Приднестровье, и потом в Абхазию, и ещё чуть позже — на границу Казахстана, откуда Лимонова со товарищи вывозили на борту как государственного преступника, готовившего вторжение на территорию бывшей республики Союза... И — тюрьма.
Это ж, на первый взгляд, не биография, а Голливуд. Но если всмотреться, это не Голливуд — а биография. Смотрите и завидуйте. Счёт, кстати, "4:0".
Не просто писатель, поэт и великолепный журналист, а ещё и боец — честный и дерзкий солдат своей удачи. Или неудачи, без разницы. Про таких мы читали в детстве — в тех самых книжках про мушкетёров. Лимонова всё время норовят сравнить то с Троцким, то с протопопом Аввакумом, то с Чарльзом Буковски (или с его героем Генри Чинарски), а он — Д` Артаньян, Атос, Портос и Арамис в одном лице.
И весь этот путь, тысячи увиденных лиц и тысячи прочитанных книг, отразились не только в текстах, которые принято называть "художественными" (и о которых Лимонов, с каждым годом, говорит со всё большим пренебрежением), но и в его трактатах — давайте назовём это так.
Безусловно, идеи, заложенные в "Дисциплинарном санатории", в "Другой России" или в "Ересях", — отличная основа для новой философии или нескольких философий — от социальной до религиозной. Там, конечно же, есть вещи, сформулированные поспешно и не осмысленные до конца — но это всего лишь повод попытаться всерьёз подумать над сказанным Лимоновым.
У Лимонова имеют место не только литературные озарения, рассыпанные в его стихах и в "Дневнике неудачника", но и политические, удивительно точные диагнозы и предсказания. Свою репутацию в качестве мыслителя и провидца он неоднократно подтверждал. Всех сомневающихся отправляем к тому же "Дисциплинарному санаторию", написанному, между прочим, четверть века назад. Так что не просто писатель, поэт, создатель журналистской школы и боец, но и — философ. "5:0" в его пользу, и движемся дальше.
То, что Лимонов занимается политикой — это, не перфоманс человека, завязавшего с литературой, а одно из немногих оправданий самого существования слова "политика" в России. Если б не было Лимонова, что бы мы называли "политикой"? Перестановку ВВП на ДАМ? Оранжевую куртку Шойгу? Пляшущие щёки Жириновского? Розоволицые стада, мигрирующие в парламент и прочь из парламента?
Когда наши т. н. "профессиональные" "политики" сетуют, что Лимонов занимается не своим делом, это не просто отвратительно и глупо — это смешно. Потому что, кто это говорит? Люди, которые ничего не умеют, кроме того, как делать бизнес, имея политическую крышу в виде правительства или парламента. Как только они перестают быть "политиками" — они перестают быть вообще. Можно назвать сразу сорок имён очень именитых "политиков" 90-х и "нулевых", которые ушли из "политики", — и вы даже не вспомните имён этих "деятелей"! И уж тем более их дел...
Помните, у Экзюпери в "Маленьком принце" был такой герой, который всё время повторял "Я человек серьёзный! Я человек серьёзный!" Вот это ровно про наших "политиков": они все "люди серьёзные". Но какие они, всё-таки, нелепые и глупые на фоне Лимонова...
Лимонов, опять же, привнёс на нашу скудную политическую сцену столько новаций, что об этом нужно писать отдельный труд. У него учились не только те, кто сегодня возглавляют (или пытаются возглавить) оппозицию. У него учились штатные кремлёвские политологи, предводители новой квазипионерии и лично создатель термина "суверенная демократия".
Ну, да, они всё делали наоборот тому, чему учил Лимонов, однако методы, отдельные идеи и саму его страсть они бесстыдно пытались своровать у него — для борьбы с ним же, и ему подобны-

ми. Безрезультатно, конечно. Мало того, как ни прискорбно, но борьбе с оппозицией наши полицаи и федералы тоже учились, пытаясь задавить и утопить Лимонова.
Ни задавить, ни утопить они его не смогли, но опыта набрались. К слову сказать, о том, насколько серьёзен и опасен Лимонов, надо спрашивать в этих коридорах, а не у "серьёзных политиков", которые даром никому не нужны. В итоге, вынуждены констатировать: "6:0".

Захар Прилепин: «Лимонов – он как водка и матрешка»[73]

Сегодня одному из самых неординарных российских писателей, политику и бунтарю Эдуарду Лимонову исполняется 70 лет. Трудно поверить, что «Эдичке» вообще может быть 70. Ему, похоже, тоже не очень в это верится. Во всяком случае, на наше предложение дать интервью «к дате» он отказал под предлогом «терпеть не могу всей этой юбилейной суеты!»

Потому сказать добрые слова юбиляру мы попросили человека, который знает его много лет - тоже известного писателя Захара Прилепина. К его словам мы и присоединяемся.

- Я думаю, что мы еще не в полной мере осознаем масштаб этого человека. Такие странные (в самом лучшем смысле), такие необычные, такие фантасмогорические фигуры, как Лимонов не очень подвластны тривиальному обывательскому, скучному нашему мировоззрению. Лимонов – это одна из фигур, которые вообще будут определять, в моем понимании, суть русского слова, русского характера, русской литературы – до тех пор, пока существует русский язык.

Есть такое слово модное сегодня – бренд. Вот Лимонов, безусловно, бренд России, который сможет и будет представлять ее на мировом уровне. Как есть майки с Че Геварой, как водка и матрешка, как есть греки и их философия. Есть вещи, с которыми сразу ассоциируется та или иная нация, тот или иной язык. Лимонов – это великолепный бренд России.

Он человек парадоксальный, человек редкой выделки, не имеющий аналогов. Человек, создавший сам себя. Я знаком с ним с 1996 года – это самый последовательный человек из всех известных мне людей на Земле. Во времена, когда все торговали всем, все продавали все, и никто не держал слово, никто не пытался быть верным себе, когда предательство стало нормой жизни и обыденностью, Лимонов вел себя так, как не умел вести себя никто. И влияние его, прямое и опосредованное, на нацию, на эпоху – оно колоссальное. Я думаю, что Лимонов – один из залогов того, что Россия не распалась на куски, не сошла с ума. Потому что, несмотря на общественное восприятие его как фигуры такой диковатой, Лимонов – один из самых здравомыслящих людей России.

[73] http://www.kp.kg/daily/26036.4/2951804/

Всякий человек, который перечитает сегодня его публицистику и философскую эссеистику конца 80-х годов – «Дисциплинарный санаторий» или «Убийство часового» – увидит: то, что сегодня является обыденностью, тривиальностью, а тогда являлось дикостью, Лимонов сказал первый. Лимонов всегда обыгрывает время. Тогда все говорили, что он сумасшедший. А спустя 30 лет то, о чем он говорил, для всех стало очевидностью.

И то, что он говорит сегодня, тоже станет очевидностью. Просто люди очень ленивы, слишком уважают себя, прощают себе любую глупость и неохотно признают чью-то правоту. А лимоновская правота очевидна и неоспорима. Лимоновский дар огромен и человек он во всех смыслах удивительный и красивый. Поэтому я счастлив, что жил и живу с ним в одно время.

Михаил Дзюбенко. Из статьи «Житие Эдуарда Лимонова, им самим написанное вослед протопопу Аввакуму» [74]

О значении личности и творчества Эдуарда Лимонова для современности долго говорить не приходится. Об этом с присущей ему деликатностью сказал сам Эдуард Вениаминович в эссе, которое опубликовано 13 августа минувшего года на сайте «Грани.ру» и названо предельно скромно – «Я и Солженицын»: «Оглядывая литературный пейзаж вокруг себя, вынужден констатировать, что оспаривать наследство Солженицына у меня некому»; «…именно я его наследник…»; «…мы с ним одного типа таланты: у нас (у него были) грандиозные планы для России. Больше ни у одного писателя нет, есть у меня. Он был преобразователь-консерватор, я – преобразователь-революционер» .

Даже если оставить в стороне сталинский «эффективный менеджмент», то в России писатели подвергались наказаниям – тюрьме или ссылке – не так уж редко, причем все случаи громкие: Новиков, Радищев, Полежаев, Лермонтов, Шевченко, Достоевский, Чернышевский (о пушкинской ссылке на курорт не говорим). В постсоветское время случай Лимонова на сегодняшний день, кажется, единственный (хотя неизвестно, что будет в ближайшем будущем). А вот основателем этой традиции явился протопоп Аввакум, хотя профессиональным писателем на момент посадки он не был и стал таковым именно в Пустозерском остроге. И сопоставление Эдуарда Лимонова с протопопом Аввакумом, при всей экзотичности, не является случайным.

Кажется, первый, кому это пришло в голову, – писатель Сергей Шаргунов, в каком-то смысле литературный ученик Лимонова. Статью «Стать пеплом» с подзаголовком «Родина: От Аввакума до Эдуарда» (НГ, 2003–04–24) он написал под свежим впечатлением от суда над Лимоновым:

«В этот весенний день, только не в нынешнем, а в 1682 году в Пустозерском остроге (ныне Архангельская обл.) в земляном срубе сожгли протопопа Аввакума и других вождей старообрядчества.

Странная страна Россия, где всегда будут сочетаться пылкие бунтари и охранительные оболтусы. Всегда будет бытоулучшительная партия и партия войны, партия скуки и партия песни.

[74] http://kassandrion.narod.ru/dzubenko/limonov_avvakum.htm

Отправляясь в Саратов (на суд к Лимонову), я взял с собой Аввакумово "Житие". Со мной в купе ехал мужичонка и, сально хмыкая, читал книжку про Остапа Бендера. Потом появился алкоголь. Наконец допились до того, что он извлек пресловутое удостоверение и стал проповедовать: "Мы вас пасем. Мало ли набедокурите! Главное, чтобы в норме все было…"».

Как сын новообрядческого священника, Сергей Шаргунов, конечно, воспринимает старообрядчество своеобразно: «Собственно, национал-большевизм – это то же двоеперстие, та же апелляция к проигравшей схеме». Зато он видит в происходящем то, чего не видят другие: «Сожжение Аввакума не сопровождалось скандированием лозунгов, он сгорел мирно, на излете сил.

…Приговор чудовищный. Но Эдуард за время отсидки, кажется, стал столь дезориентирован и надмирен, что уже не возмутился. Мы не услышали: "Мне нужна только свобода. Ура борьбе!" Как юродивый, он что-то наборматывал в бороду, озаренный фаворским светом. А волосы у него были спутаны в монашескую косичку.

Ни позы, ни самовлюбленности. Эстетство и политиканство куда-то отпали.

Уже не человек. Седой пепел.

Другая Россия за пределами этого мира…»

Независимо от Шаргунова это сопоставление развивает постоянный автор журнала «Знамя» Николай Работнов в статье «Колдун Ерофей и перероcток Савенко: Из дневника читателя»:

«Лимонов – человек очень русский, так что за сравнениями не следует лезть в европейский карман. Хочу – всерьез – сравнить его с Аввакумом Петровичем, самым первым писателем земли Русской, который вошел в историю как “протопоп”, хотя пробыл таковым всего восемь недель, и обосновать это сравнение, начав с того, что может показаться второстепенным, но на самом деле является фундаментом достигнутого в обоих случаях – с необыкновенной крепости духа и тела (подчеркнуто недаром) этих двух мужчин. Злоключения и муки Аввакума, закончившиеся, после пятнадцати лет подземной тюрьмы, сожжением в белозерском <пустозерском> срубе, несравнимы, конечно, с лимоновскими, но сорок лет алкогольных, наркотических и прочих, мягко говоря, излишеств, а также связанных с ними жизненных перипетий, очень выразительно и, похоже, правдиво описанных Лимоновым в том, что можно назвать его “Житием”, должны были разрушить любое здоровье, кроме железобетонного – что и произошло со многими современниками, попавшими в “Книгу мертвых” – и сломить любой дух, кроме неистово бунтарского и маниакально целеустремленного... И, увы, не исключено, что настоящие жизненные испытания для него только начинаются, и последние главы “Жития” будут самыми – дай Бог не по-аввакумовски – мрачными».

Такое же сопоставление проводит и известный критик Владимир Бондаренко, который пишет о том, что «бунт – это тоже давняя традиция в русской культуре. От Аввакума и до сегодняшнего Эдуарда Лимонова».

Впрочем, подобная точка зрения вызывает и неприятие. «Писатель Лимонов ловко выстраивает параллель – хлопец их города Харків – с протопопом Аввакумом, заточенным в башне, повторяя ход некоего его рецензента, который сумел польстить, растрогать до скулов степного волка. И только люди темные, боящиеся общественного мнения, проголосовали бы за первого и воздвигли

в статус святого второго», – пишет в ЖЖ Марцис Юрьевич Гасунс, лингвист, переводчик, исследователь риторики.

Тем не менее забавно, что это сравнение уже стало достоянием массовой культуры: в 2005 году в Нижнем Новгороде вышла книга некоего Эдуарда Кузнецова «Аввакум Петров, Эдуард Лимонов и прочие... Литераторы, связанные с Нижним Новгородом, в шаржах, пародиях, эпиграммах» (Эдуард Савенко родился под Горьким, в городе Дзержинске). Несмотря на отрицательные и даже возмущенные рецензии, книга получила премию областной администрации.

Итак, насколько оправданно ставить рядом имена протопопа Аввакума и Эдуарда Лимонова? Ведь в середине 1990-х годов Лимонов недоумевал по поводу увлечения Александра Дугина, его тогдашнего товарища по партии, староверием (которое, правда, Дугин понимает весьма своеобразно), шитья кафтана и чтения соответствующих книг. С точки зрения тогдашнего Лимонова, революционеру все это совсем не нужно.

Однако после тюрьмы в статьях и выступлениях Лимонова имя Аввакума фигурирует неоднократно – как в мимолетных упоминаниях, так и в развернутых суждениях. Например, в интервью «Московскому комсомольцу» от 02.02.2005, озаглавленном «Тюрьма за мною гонится», наш герой признается: «А тюрьма мне дала не то что второе дыхание – я думаю, я обошелся бы и без тюрьмы. Но раз уж она случилась, то я ее как бы использовал. Ведь большинство людей в тюрьме лежат на боку и спят. Знаете, очень мало таких людей, о которых в книгах пишут. На самом деле все просто пересиживают, а к вечеру с ненавистью зачеркивают еще один день, эту клеточку в календаре. А я написал в тюрьме 8 книг. Просветлял свои мозги, узнавал жизнь, какая-то связь со Вселенной образовалась через эти сырые кирпичи, всю эту дрянь». И с характерной для него великолепной скромностью, помноженной на самоиронию, подытоживает: «Я просто стал каким-то протопопом Аввакумом».

Более подробно Лимонов говорил об огнепальном протопопе на лекции «Русская литература и российская история», прочитанной 23 марта 2006 года в литературном кафе Bilingua в рамках проекта «Публичные лекции “Полит.ру”». Будучи вполне советским по воспитанию человеком, писатель главным в русской истории и литературе считает борьбу реакции и революции (впрочем, посмотрев на нынешнюю действительность, мы легко убедимся в его правоте). «Я твердо верю в то, что история, история литературы и российская история (и вообще мировая история) движется исключительными личностями, которые что-то вложили в развитие вида. Не индивида, не построив себе квартиру или дачу, а те, кто вложили в развитие вида. Такие люди у всех на слуху… Вот в России тоже есть такие люди, они-то и сделали Россию. Глядя в глубину веков, я вижу яростного и страстного первого российского писателя Протопопа Аввакума, человека, который за свои убеждения был сожжен, если кто читал “Житие Аввакума”, он написано, как житие святого, и он имел право такое писать, потому что знал, на что способен. Он клеймил вокруг себя все неправедное с его точки зрения и говорил: “В ваших душах черви кипят”. Мощно! У него великолепнейший стиль. Это один из самых любимых моих революционеров, святой, и Россия может гордиться таким человеком. Сожгли его в 1681 <1682> году, я вам напомню. Это – наш первый автор, первый бунтарь и первый писатель Земли русской».

И все-таки остается сомнение: можно ли говорить о серьезном, недекларативном интересе Лимонова к Аввакуму, является ли этот интерес, так сказать, автохтонным, самостоятельным или же писатель подхватил удачную мысль, скажем, Шаргунова и развил ее?

Прежде чем строить некие умозрительные конструкции, давайте просто послушаем интонацию. Вот неповторимая интонация протопопа:

«После тово вскоре схватав Никон Даниила в монастыре за Тверскими вороты, при царе остриг голову и, содрав однарядку, ругая, отвел в Чюдов в хлебню и, муча много, сослал в Астрахань. Венец тернов на главу ему там возложили в земляной тюрьме и уморили. После Данилова стрижения взяли другова, темниковскаго Даниила ж протопопа, и посадили в монастыре у Спаса на Новом. Таже протопопа Неронова Ивана — в церкве скуфью снял и посадил в Симанове монастыре, опосле сослал на Вологду, в Спасов Каменной монастырь, потом в Колской острог. А напоследок, по многом страдании, изнемог бедной, — принял три перста, да так и умер. Ох, горе! всяк мняйся стоя, да блюдется, да ся не падет. Люто время, по реченному господем, аще возможно духу антихристову прельстити избранныя. Зело надобно крепко молитися богу, да спасет и помилует нас, яко благ и человеколюбец».

«Отпускал он сына своево Еремея в Мунгальское царство воевать, — казаков с ним 72 человека да иноземцов 20 человек, — и заставил иноземца шаманить, сиречь гадать: удастлися им и с победою ли будут домой? Волхв же той мужик, близ моего зимовья, привел барана живова в вечер и учал над ним волхвовать, вертя ево много, и голову прочь отвертел и прочь отбросил. И начал скакать, и плясать, и бесов призывать и, много кричав, о землю ударился, и пена изо рта пошла. Беси давили ево, а он спрашивал их: “удастся ли поход?” И беси сказали: “с победою великою и с богатством большим будете назад”. И воеводы ради, и все люди радуяся говорят: “богаты приедем!” Ох, душе моей тогда горько и ныне не сладко!»

«И привезше к Москве, отвезли под начал в Пафнутьев монастырь. И туды присылка была, — тож да тож говорят: “долго ли тебе мучить нас? соединись с нами, Аввакумушко!” Я отрицаюся, что от бесов, а оне лезут в глаза! Сказку им тут с бранью с большою написал и послал с дьяконом ярославским, с Козмою, и с подьячим двора патриарша. Козма та не знаю коего духа человек: въяве уговаривает, а втай подкрепляет меня, сице говоря: “протопоп! не отступай ты старова тово благочестия; велик ты будешь у Христа человек, как до конца претерпишь; не гляди на нас, что погибаем мы!” И я ему говорил сопротив, чтоб он паки приступил ко Христу. И он говорит: “нельзя; Никон опутал меня!” Просто молыть, отрекся пред Никоном Христа, также уже, бедной, не сможет встать. Я, заплакав, благословил ево, горюна; больши тово нечева мне делать с ним; ведает то бог, что будет ему».

Сравним, что пишет Лимонов в книге «Торжество метафизики» о желтой прессе, образцы которой изредка попадали ему в руки в колонии: «А заголовки, какие там заголовки, о этот стиль! Типа “Маньяк 16 лет изнасиловал сиамских близнецов!” или “Солдат на побывке домой съел бабушку!” В свое время этот стиль внедрила газета “Мегаполис-Экспресс”, а именно за его внедрение в массы был более всех ответствен Игорь Дудинский, мой старый приятель еще со времен московского андерграунда 60‑х годов. Натыкаясь на такие заголовки, я мысленно посылаю привет Дудинскому и его мрачному остроумию-мировоззрению. Тут еще следует сказать, что Дудинский поплатился за свой вызов, брошенный мрачному миру вниз от нас. Он влюбился в юную веселую девку-великаншу и женился на ней. Абсолютно счастливый, он пил как-то с женой, но случилось так, что она выпала из окна и разбилась. Дело в том, что нельзя неуважительно относиться и к мелким демонам. Они реагируют на обиды. Никогда не следует поминать их всуе или бросать им вызов, если у тебя нет более мощных защитников. Но даже если есть, опытный медиум не станет задирать демонов. Ох Дудинский, бедняга…»

Общность этой сокрушенной интонации, при всем различии предмета, неподдельна. Она-то и свидетельствует о том, что сегодняшнее творчество Лимонова, которое можно условно назвать поздним, во многом вдохновляется Житием – и житием – протопопа Аввакума.

В самом деле, произведения Лимонова, как и произведения протопопа, в высокой степени автобиографичны, хотя генезис этого автобиографизма различен. Аввакум использовал письменность для защиты веры и при этом себя, христианина, от веры не отделял. Иначе говоря, его апологетическая задача первична, тогда как писательство стало орудием этой задачи. Далеко не случайно творческое наследие протопопа вовсе не ограничивается Житием, но включает также беседы, толкования, послания, письма. Лимонов, напротив, шел путем новоевропейского писателя, преследуя, казалось бы, чисто литературные задачи (в частности, поиск своего героя). Однако его творчеству по нарастающей сопутствовало то, о чем справедливо писал Виктор Ерофеев: «Активный вынос литературного персонажа в жизнь – явление очень русское; литературные герои порождали кучу последователей. Лимоновский герой породил своего автора». И этот автор далеко не ограничивается художественной прозой, активно работая в публицистике и эссеистике, и далеко не ограничивается амплуа автора, становясь организатором и борцом. Подобно протопопу, Лимонов открыто выступает против власти и вербует своих сторонников, причем в высшей степени эмоционально. Главным доводом у обоих авторов является их собственная судьба, их собственная жизнь, глубоко прочувствованное ощущение собственной правоты. Опять же здесь можно усмотреть и немало различий, но говорить о них сейчас нет времени.

Самое же главное в том, что оба автора (=деятеля) чувствуют переломный характер эпохи, в которую живут, и перелом этот связан с предельным усилением борьбы между добром и злом, между Богом и сатаной. Воспитанный в материализме, наш герой-автор в заключении становится чрезвычайно восприимчив к духовной стороне происходящего, то есть к тому, чему на самом деле и посвящено все творчество Аввакума: «В “Торжестве метафизики” присутствует наряду с видимым миром другой мир — параллельный, невидимый. Здесь не впервые в моем творчестве, но впервые в таком объеме демонстрирует себя еще одно мое измерение — мистическое. Оно существовало всегда, но тайное биение его пульса стало мощным лишь в последние годы. Ранее я игнорировал его, однако пользовался им…

В “Торжестве метафизики” мистическое измерение преобладает над физическим, другой мир успешно одолевает реальность физическую или же смешивается с нею в выгодных для него пропорциях.

Человек бежит в другой мир, если его не удовлетворяет этот мир. Или же этот мир, видимый, потерял для него таинственность. Отдал все свои тайны одну за другой. В моем случае годится второе объяснение. К моим шестидесяти годам видимый мир отдал мне все свои тайны. А реальность колонии так близка к невидимому миру, как монаху в его холодном горном монастыре близок Бог. Обезжиренная пища, суровые стояния на проверках, как на жестокой молитве: утренней, дневной и вечерней. Мучения строевых хождений по Via Dolorosa. Тяжкая работа для большинства, изнурительные прогоны в клуб, выпученные глаза, чтобы не заснуть, шатания бедного разума на грани сна и реальности, подавленная несчастная плоть — весь этот набор монастырских изнурений именно и есть лучшие приемы приближения к невидимому зафизическому миру. Так, помимо моей воли, я пережил в колонии №13 и экстаз, и озарения».

«Когда вышел изможденный монах, брат мой осужденный, последний в очереди монахов передо мной, вышел грустный, я постучал в дверь».

«…В колонии я уже достиг умения когда угодно выходить из ситуации и входить в метафизический мир: летать беспрепятственно по Истории, проноситься над шершавыми боками ледяных железных и каменных планет... Колония! Наши офицеры! Наши козлы! Да что они могут такому сделать, как я, если я достиг этой безболезненной легкой святости… Я так и думал, что доиграюсь с огнем, дойду однажды до того, что воспарю над вертухаями, дубаками, супами и кашами и что неволя, что воля будут мне единым временем».

Сравним знаменитый отрывок из послания протопопа Аввакума царю Алексею Михайловичу:

«Нынешня 177 году, в великий пост на первой неделе по обычаю моему хлеба не ядох в понедельник, тако ж и во фторник, и в среду не ядох, еще ж и в четверг не ядше пребых, в пяток же прежде часов начах келейное правило, псалмы Давыдовы пети, прииде на мя озноба зело люта, и на печи зубы мои розбило с дрожи. Мне же, и лежа на печи, умом моим глаголющу псалмы, понеж от бога дана Псалтырь и наизусть глаголати мне, — прости, царю, за невежество мое, — от дрожи тоя нападе на мя мыт; и толико изнемог, яко отчаявшу ми ся и жизни сея, уже всех дней не ядшу ми дней с десять и больши. И лежащу ми на одре моем и зазирающу себе, яко в таковыя великия дни правила не имею, но токмо по чоткам молитвы считаю, и божиим благоволением в нощи вторыя недели, против пятка, распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен под небесем по всей земли распространился, а потом бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь. Мне же, молитвы беспрестанно творящу и лествицу перебирающу в то время, и бысть того времени на полчаса и больши, и потом восставши ми от одра лехко и поклонившуся до земля господеви, и после сего присещения господня начах хлеб ясти во славу богу».

Оба писателя не одиноки: они вдохновляют и ведут за собой. По словам протопопа Аввакума, «егда в попах был, тогда имел у себя детей духовных много, – по се время сот с пять или с шесть будет». После его смерти враги старообрядчества еще долго говорили о какой-то секте «аввакумовцев», хотя протопоп никогда не отделял себя от древлеправославной Церкви. Лимоновская организация также носит ярко выраженный личностный характер; недаром нацболов и называют лимоновцами.

Наконец, Аввакума и Лимонова роднит самая главная интуиция, внятная сегодня еще немногим:

«Выпросил у бога светлую Россию сатона, да же очервленит ю кровию мученическою» (протопоп Аввакум).

«В России власть лжет нагло и непринужденно. Мы на самом деле чудовищная страна. Это ханжеское государство и льстивая до приторности церковь дали нам кликуху “Святая Русь”. На самом деле нам более подходит кликуха “Русь Сатанинская”» (Эдуард Лимонов).

Виктор Пелевин

Справочный материал

Российский писатель-прозаик, автор повести "Омон Ра" (1992) и романов "Чапаев и пустота" (1996), "Generation П" (1999). Лауреат многочисленных литературных премий,

среди которых "Малый Букер" (1993) и "Национальный бестселлер" (2004).

Виктор Олегович Пелевин родился 22 ноября 1962 года в Москве в семье Зинаиды Ефремовны Семеновой, школьной преподавательницы английского языка, и Олега Анатольевича Пелевина, преподавателя военной кафедры МВТУ имени Н.Э. Баумана. В 1979 году Виктор Пелевин окончил среднюю английскую спецшколу № 31 (позднее - гимназия № 1520) и поступил в Московский энергетический институт (МЭИ) на факультет электрификации и автоматизации промышленности и транспорта, который окончил в 1985 году. В апреле того же года Пелевин был принят на должность инженера кафедры электрического транспорта МЭИ. Упоминалось также, что он служил в армии, в Военно-воздушных силах, однако годы его службы не назывались.

В 1987 году (по другим данным — в апреле 1985 года) Пелевин поступил в очную аспирантуру МЭИ, в которой проучился до 1989 года (диссертацию, посвященную проекту электропривода городского троллейбуса с асинхронным двигателем, не защищал). В 1989 году Пелевин поступил в Литературный институт им. Горького, на заочное отделение (семинар прозы Михаила Лобанова). Однако и здесь он проучился недолго: в 1991 году его отчислили с формулировкой "за отрыв от института" (сам Пелевин говорил, что его отчислили с формулировкой "как утратившего связь" с вузом). По признанию самого писателя, учеба в Литературном институте ничего ему не дала.

Во время учебы в Литинституте Пелевин познакомился с молодым прозаиком Альбертом Егазаровым и поэтом (позднее — литературным критиком) Виктором Куллэ. Егазаров и Куллэ основали свое издательство (сначала оно называлось "День", затем "Ворон" и "Миф"), для которого Пелевин как редактор подготовил трехтомник американского писателя и мистика Карлоса Кастанеды.

С 1989 по 1990 год Пелевин работал штатным корреспондентом журнала "Face to Face". Кроме того, в 1989 году он стал работать в журнале "Наука и религия", где готовил публикации по восточному мистицизму. В том же году в "Науке и религии" был опубликован рассказ Пелевина "Колдун Игнат и люди" (в Сети можно найти также информацию, что первый рассказ писателя был опубликован в журнале "Химия и жизнь" и назывался "Дед Игнат и люди").

В 1992 году Пелевин выпустил первый сборник рассказов "Синий фонарь". Сначала книга не была замечена критиками, однако спустя год Пелевин получил за нее Малую букеровскую премию, а в 1994 году — премии "Интерпресскон" и "Золотая улитка".

В марте 1992 года в журнале "Знамя" была опубликована повесть Пелевина "Омон Ра", которая привлекла внимание литературных критиков и номинировалась на Букеровскую премию. В апреле 1993 года в том же журнале был опубликован первый роман Пелевина — "Жизнь насекомых".

В 1993 году Пелевин в "Независимой газете" опубликовал эссе "Джон Фаулз и трагедия русского либерализма". Став ответом писателя на неодобрительную реакцию некоторых критиков на его творчество, впоследствии оно стало упоминаться в СМИ как "программное". В том же году Пелевин был принят в Союз журналистов России.

В 1996 году в "Знамени" был опубликован роман Пелевина "Чапаев и пустота". Критики говорили о нем как о первом в России "дзен-буддистком" романе, сам же писатель называл это свое произведение "первым романом, действие которого происходит в абсолютной пустоте". Роман получил премию "Странник-97", а в 2001 году вошел в шорт-лист самой большой в мире литературной премии International Impac Dublin Literary Awards.

В 1999 году вышел роман Пелевина "Generation П". Во всем мире было продано более 3,5 миллионов экземпляров романа, книга получила ряд премий, в частности, немецкую литературную премию имени Рихарда Шенфельда, и приобрела статус культовой.

В 2003 году, после пятилетнего перерыва в публикациях, вышел роман Пелевина "Диалектика переходного периода. Из ниоткуда в никуда" ("ДПП. NN"), за который писатель получил премию Аполлона Григорьева в 2003 году и премию "Национальный бестселлер" в 2004 году. Кроме того, "ДПП (NN)" вошел в шорт-лист премии Андрея Белого за 2003 год.

В 2006 году издательство "Эксмо" выпустило роман Пелевина "Empire V", который вошел в шорт-лист премии "Большая книга". Текст "Empire V" появился в интернете еще до публикации романа. Представители "Эксмо" утверждали, что это произошло в результате кражи, однако некоторые предполагали, что это был маркетинговый ход издательства.

В октябре 2009 года вышел роман Пелевина "t". Автор книги стал лауреатом пятого сезона Национальной литературной премии "Большая книга" (2009-2010, третий приз) и стал победителем читательского голосования.

В декабре 2011 года Пелевин выпустил в издательстве "Эксмо" роман "S.N.U.F.F." В феврале следующего года это произведение получило премию "Электронная книга" в номинации "Проза года".

Пелевин — автор более десятка произведений, в числе которых "Реконструктор" (1990), "Затворник и Шестипалый" (1990), "Вести из Непала" (1991), "Принц Госплана" (1991), "Желтая стрела" (1993), "Бубен верхнего мира" (1993), "Иван Кублаханов" (1994), "Зомбификация" (1994), "Священная книга оборотня" (2004), "Шлем ужаса" (2005), "П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана" (2008), сборник "Ананасная вода для прекрасной дамы" (2010). Произведения писателя неоднократно ставились в театре. Так, в 2000 году Павел Урсул в здании Театра клоунады им. Терезы Дуровой представил спектакль "Чапаев и пустота", а в 2001 году киевский театр ДАХ поставил по тому же роману спектакль "...четвертый лишний...". В 2005 году в рамках театрального фестиваля NET в Театральном центре на Страстном состоялась премьера интерактивного спектакля Живиле Монтвилайте Shlem.com по роману Пелевина "Шлем ужаса". В 2007 году на сцене филиала московского театра им. Пушкина спектакль "Бубен верхнего мира", поставленный режиссером Мариной Брусникиной по мотивам рассказов Пелевина открыл новый театральный сезон, а в феврале 2008 года в Театральном центре на Страстном состоялась премьера спектакля "Хрустальный мир" по одноименному рассказу писателя (режиссер Сергей Щедрин).

В 2008 году в СМИ появилась информация о том, что компания "Гарпастум-фильм" снимет фильм "А Хули" по "Священной книге оборотня" Пелевина. В 2009 году стало известно о съемках в Германии фильма "Мизинец Будды" ("Buddha's little finger") по мотивам романа "Чапаев

и пустота". 14 апреля 2011 года в российский прокат вышел фильм "Generation П", снятый Виктором Гинзбургом по одноименному роману Пелевина. Картина снималась с октября 2006 по январь 2011 года, ее бюджет составил 7,5 миллионов долларов. Сам писатель в съемках фильма участия не принимал. Фильм оказался успешным, и в мае 2011 года Гинзбург объявил о намерении экранизировать еще один роман Пелевина — "Empire V".

Литературные критики, помимо буддистских мотивов, отмечали склонность Пелевина к постмодернизму и абсурдизму. Упоминалось также и влияние эзотерической традиции и сатирической научной фантастики на творчество писателя. Книги Пелевина переведены на основные языки мира, включая японский и китайский. По некоторым данным,

French Magazine включил Пелевина в список 1000 самых влиятельных деятелей современной культуры.

Пелевин, отмечали СМИ, известен тем, что не входит в "литературную тусовку", практически не появляется на публике, очень редко дает интервью и предпочитает общение в Интернете. Все это стало поводом для разных слухов: утверждалось, например,что писателя вообще не существует, а под именем "Пелевин" работает группа авторов или компьютер. В мае 2011 года появилась информация, что Пелевин будет лично присутствовать на церемонии вручения премии "Супер нацбест". Особо отмечалось, что это должно было быть первое появление писателя на публике. Но вопреки ожиданиям Пелевин на церемонию не пришел.

СМИ указывали, что Пелевин часто бывает на Востоке: например, он был в Непале, Южной Корее, Китае и Японии. Отмечалось, что писатель не называет себя буддистом, однако занимается буддистскими практиками. По свидетельствам людей, знающих писателя лично, свое увлечение буддизмом Пелевину удается сочетать с практичностью "в денежных вопросах".

Пелевин неоднократно подчеркивал, что, несмотря на то, что его герои принимают наркотики, он сам наркоманом не является, хотя в молодости он экспериментировал с расширяющими сознание веществами.[75]

Диалектика Переходного Периода Из Ниоткуда В Никуда[76]

ЭЛЕГИЯ 2

Вот так придумывал телегу я
О том, как пишется элегия.

Мы скоро встретимся едва ль.
За болью боль,
За далью даль,
За дыркой catcher in the rye1,
За раем тоже рай.

За полднем вечер голубой,
За боем буй,
За геем гой.
Проснись и пой, и бог с тобой
Задрыгает ногой.

Товарищ, тырь. Товарищ, верь.
За дурью дурь,
За дверью дверь.
Здесь и сейчас пройдет за час,
Потом опять теперь.

Семь бед – один переворот.

[75] Источник: http://www.peoples.ru/art/literature/story/pelevin/index.html
[76] Источник: http://lib.znate.ru/docs/index-272682.html

За кедом кед,
За годом год,
И только глупый не поймет,
Что все наоборот.

Милиционер, миллионер,
За торой бор,
За хором хер.
Премного разных трав и вер.
Бутылка, например.

Катюшин муж объелся груш.
За горем Гор,
За Бушем Буш.
Гомер, твой список мертвых душ
На середине уж.

За приговором приговор,
За морем мур,
За муром вор,
За каламбуром договор.
Гламур, кумар, amor.

Мы испекаем каравай.
За киром кар,
За воем вай.
Лжедмитрий был Первомамай,
И я люблю свой край.

Вокруг качается ковыль.
За далью даль,
За былью быль,
И небольшой автомобиль
Вздымает в поле пыль.

Довольно быстрая езда,
Закат,
Вечерняя звезда,
И незнакомые места.
Все это неспроста.

Зигмунду Фрейду и Феликсу Дзержинскому

ЧИСЛА

Роман

Окнов: Нет, пустите!… Пустите!
Пусти… Вот, что я хотел сделать!
Стрючков и Мотыльков: Какой ужас!
Окнов: Ха ха ха!
Мотыльков: А где же Козлов?
Стрючков: Он уполз в кусты.
Даниил Хармс

I

Идея заключить с семеркой пакт созрела у Степы Михайлова тогда, когда он начинал понемногу читать и задумываться о различиях между полами. Первые формы этого альянса были примитивными. Степа рисовал семерки разного вида на разные случаи жизни. Например, большая и пустотелая, во всю страницу, защищала от тех ребят, которые были старше и сильнее. Четыре заостренные семерки, расположенные по углам листа, должны были остановить буйных соседей по палате, которые имели привычку подкрадываться во время тихого часа, чтобы ударить подушкой по голове или положить прямо перед носом какую нибудь гадость. Однако несколько досадных происшествий, от которых семерки должны были защитить, показали, что этот метод не подходит.

Степа решил, что семерка в единственном числе обладает недостаточной силой, и принялся покрывать крошечными синими уголками страницу за страницей, чувствуя себя завоевателем, набирающим армию для покорения мира. Но армия, как быстро выяснилось, не желала сражаться. Синяки, полученные Степой в летнем лагере после того, как семерками было исписано ровно семь тетрадей, показали это с полной убедительностью.

Бродя после уроков по тихим подмосковным рощам и полным сокровищ свалкам, Степа размышлял об этом, пока не понял, в чем дело. Почему то он с самого начала решил, что семерка в курсе всех его планов. Казалось само собой разумеющимся, что она узнает о его мыслях в тот момент, когда они появляются у него в голове. А между тем, сколько было в мире таких как он! Степа догадался, что ему следует каким то образом обратить на себя внимание семерки, сделать так, чтобы она узнала о союзе, который он хочет заключить, и выделила его из толпы.

На уроках в школе рассказывали, что в древние времена люди, которые хотели воззвать к богам, приносили им жертвы. Семерка, возможно, не была таким же богом, как Зевс или Аполлон, но явно обитала в надчеловеческом измерении. Поэтому забытая технология могла сработать.

Степа знал, что древним богам приносили в жертву быков, сжигая их на костре. Несколько недель он всерьез обдумывал ритуальный поджог одного из коровников в совхозе, который располагался неподалеку от их дачи. Были заготовлены бутылка с бензином и длинные полоски резины, которые предполагалось использовать в качестве бикфордова шнура. В последний момент Степа передумал. Все таки это было слишком масштабным проектом.

Но бензин не пропал. Степа стянул из дома семь банок говяжьей тушенки – это были военного вида жестяные цилиндры с похожей на фотографию со старой могилы бычьей мордой в овале.

Такое количество продукта потребовало большого костра, и он обжег руку, но в целом ритуал, который он провел в лесу неподалеку от дома, прошел гладко.

Вонь горелого мяса напомнила ему о чем то таинственном и давно забытом (даже пришло в голову странное словосочетание – «гиена огненная»). Это переживание было слишком мимолетным для анализа – так, галлюцинация памяти, тень мысли о чем то таком, чего с ним совершенно точно никогда не происходило. Тем не менее, именно это странное полувоспоминание открыло ему глаза на его ошибку.

В чем был смысл жертвоприношения? Небу предлагалось то, чем оно наделяло, – жизнь, душа. А сероватая говядина из стратегических запасов СССР была просто упаковкой, оставшейся от давно развеянной жизненной силы – точно так же, как жестяные банки были упаковкой от сгоревшего мяса. Принести мертвую материю в жертву духу было все равно, что подарить на день рождения пустую коробку от конфет. Доски старого забора, из которых он разложил костер, и то подходили лучше, потому что на них кое где росла живая плесень.

Следующий шаг был прост и логичен. Степа свернул семь газетных листов в удобную длинную мухобойку и начал переправлять в иной мир мух, залетавших в кухню со двора. Чтобы их души доходили по нужному адресу, каждый раз после попадания Степа шепотом повторял непонятно как сложившийся в его голове стишок: «Семь осин и сосен семь, семь семерок насовсем». Было не до конца понятно, сколько именно мух следовало отправить к семерке под эту считалку – то ли семь раз по семь, то ли семьдесят семь. Степа решил остановиться на втором варианте и уже подбирался к заветной цифре, когда внезапный удар судьбы сделал проект неактуальным.

Его нанесла книга, которую забыл на кухонном столе отец, даже не вся книга, а одна только фраза на развороте, куда Степа нечаянно опустил взгляд – про некоего Штирлица, который так твердо верил в счастливое предназначение числа «семь», что, снабжая кого то ложной информацией, старался, чтобы присутствовавшие в ней цифры давали в сумме семерку.

Степа понял, до какой степени он со своей мухобойкой неконкурентоспособен в мире, полном взрослых людей, разделяющих те же взгляды на чудесное. Их возможности были неизмеримо шире; некоторые могли отправить по магическому адресу много миллионов человек, не то что мух. Стоило ли надеяться, что семерка, окруженная сонмами могущественных почитателей, обратит внимание на него? Это было так же наивно, как рассчитывать, что слон, окруженный духовым оркестром, заметит жужжащего комара.

На долгое время Степа потерял веру в то, что из союза с цифрами можно что нибудь извлечь. Даже сама мысль, что его можно заключить, стала представляться ему сомнительной.

Потребовалось несколько лет, чтобы рана в душе затянулась, и Степу посетили новые идеи относительно цифр и чисел.

Семерка была всеобщей избранницей. К ней обращались все – британские суперагенты, сказочные герои, города, стоящие на семи холмах, и даже ангельские иерархии, имевшие привязанность к седьмому небу. Семерка была избалованной и дорогой куртизанкой, и неудивительно, что скромные Степины ухаживания оставались без ответа. Но она была не единственной цифрой на свете.

Однако Степа, наученный печальным опытом, не спешил выбрать какую то другую. Он догадывался, что, к какой цифре он ни повернись, в мире найдется много людей, сделавших тот же выбор. А чем больше у него будет конкурентов, тем меньше шанс, что выбранная цифра откликнется на его волхования или хотя бы догадается о его существовании. С другой стороны, логика подсказывала, что двузначные и трехзначные числа не так избалованы вниманием.

Степа интуитивно чувствовал, что цифры от единицы до девятки были могущественнее двузначных чисел, а двузначные – сильнее трехзначных, и так далее. Но ему запали в душу слова Цезаря, услышанные на уроке истории, – «лучше быть первым в галльской деревушке, чем последним в Риме» (учительница оговорилась, сказав «лучше быть первым в Риме, чем последним в галльской деревушке», но Степа понял, что это ошибка, потому что для Цезаря это звучало бы слишком самодовольно). И он принялся подбирать галльскую деревушку поспокойнее.

После долгих размышлений он остановил выбор на числе «34». В сумме четверка и тройка давали ту же самую семерку. Это наделяло число «34» подобием небесной генеалогии, как у греческих героев, возводивших свою родословную к богам. Степа не предавал свое изначальное божество, он находил более рациональный способ воззвать к нему. Кроме того, как и семерка, тройка с четверкой были особенными цифрами – они имели цвета. Степа помнил, что раньше, когда он был совсем маленьким, цвета были у всех цифр. Потом они стерлись, только у четверки остался хорошо различимый зеленый, у семерки – синий, и у тройки – слабые следы оранжевой краски на центральном выступе.

Было много других соображений, которые Степа принял во внимание – например, «тридцатьчетверка» была лучшим русским танком второй мировой, и, значит, число «34» несло на себе отраженный свет удачи и победы. Выбор, который он сделал, вызревал в его уме так долго, что было даже не до конца ясно, он ли выбрал число «34», или оно его.

Он был уже большой мальчик – школа близилась к концу, и под носом у него темнели пробивающиеся усы, похожие на два минуса, которые, как он надеялся, должны были со временем дать обещанный математикой плюс. Теперь он стал осмотрительнее. Обзаведясь новым патроном в мире чисел, он не стал повторять своего жестокого мухоприношения. Числу «34» были ни к чему мертвые мухи, и даже мертвые люди, он понимал это ясно. Следовало идти другим путем – не совершать невнятные магические ритуалы, а пропитать этим числом всю жизнь, слиться с ним, доказав свою преданность ежедневным усердием.

Степа начал с того, что стал вставать не в шесть тридцать, как раньше, а в шесть тридцать четыре. Так же сдвинулись все остальные точки его расписания, которые зависели от него. Назначая встречу на половину шестого, он приходил на четыре минуты позже, специально задерживаясь в вестибюле метро, чтобы дать стрелке переползти на несколько делений вперед. Когда рациональная часть ума начинала нашептывать, что его поведение глупо, для нее был наготове рациональный ответ.

Все вокруг меняется каждый миг, и в каждый момент мир представляет собой сумму иных обстоятельств, чем секундой до или после. Люди, с которыми мы имеем дело, тоже постоянно меняются и ведут себя по разному в зависимости от того, какие именно мысли попадают в

моментальное сечение их умов. Поэтому, выбирая временную и пространственную точку своей встречи с миром, мы занимаемся совершенно реальной магией, может быть, даже единственно возможной магией, потому что каждый раз мы решаем, в какой именно мир нам вступить. В одном нас ждет падающий из окна горшок с бегонией или несущийся из за угла грузовик, в другом – благосклонная улыбка Незнакомки или толстый кошелек на краю тротуара, и все на одних и тех же улицах… Эти слова Степа нашел много позже, уже тогда, когда научился превращать числа в деньги, но сама мысль, на которую они указывали, в неоформленном виде была знакома ему со школы.

Засыпая, он считал не до ста, а до тридцати четырех, потом опять до тридцати четырех, и так далее. Выбирая в кафе, за какой из столиков сесть, он начинал считать их по кругу, по нескольку раз каждый, пока на добирался до тридцати четырех. Перед тем как нырнуть в море с пирса, он делал тридцать четыре быстрых вдоха. Каждый раз, когда надо было принять решение, он тем или иным способом привязывал его к священному числу. Это давало ему чувство, что он идет по уникальному маршруту, отличному от других человеческих жизней. И, хоть внешне его судьба ничем не отличалась от судеб сверстников, маршрут действительно был необычен. Когда Степа прошел по нему достаточно далеко, он стал получать подтверждения одно за другим. Или, может быть, научился их узнавать.

Однажды в летнее воскресенье он сидел дома и рассеянно глядел в окно. Вдруг с улицы понеслись тяжелые удары – на стройке заработала машина, забивающая в грунт металлические сваи. Степа непроизвольно начал считать их. Ударов оказалось ровно тридцать четыре, потом машина остановилась и больше о себе не напоминала. В этом, возможно, не было бы ничего особенного, если бы за секунду до первого удара он не подумал, что так и не знает, удалось ли ему достучаться до сердца своего божества. Кроме того, это произошло в выходной, когда на стройках никто не работает, – последнее обстоятельство окончательно убедило Степу, что случившееся было знаком.

В другой раз, когда его посетили сомнения, он, повинуясь импульсу, включил телевизор. На экране появились титры польского фильма «Три танкиста и собака» – что означало, как он сразу догадался, «34» – три (танкиста) и три плюс один (полный экипаж). Если в таком подходе и была небольшая натяжка, ее можно было извинить, вспомнив, что танк, на котором ездили собаколюбивые поляки, назывался «Т 34».

Рано с утра в свой семнадцатый день рождения – особенный, потому что семнадцать на два давало тридцать четыре, – он решил устроить окончательный экзамен себе и избранному числу. Он загадал, что этот союз приведет его к цели (правда, что это за цель, он пока не знал), если в номере билета, который он купит в кинотеатре, окажутся цифры «3» и «4». Чтобы придать событию достаточную протяженность во времени, Степа выбрал кинотеатр на другом конце Москвы. Часовая поездка на метро стала подобием восхождения к горному храму, во время которого от человека отлипают накопленные в миру грехи.

Билет был куплен ровно за тридцать четыре минуты до начала фильма. Степа вышел на улицу и, глубоко вздохнув, заглянул в него, словно игрок, открывающий карту, от которой зависит вся партия.

В шестизначном номере не оказалось ни троек, ни четверок. Номер ряда был одиннадцать. Номер места – пятнадцать. Степа почувствовал, как мир, который он столько лет создавал по кусочкам, разваливается на части. Экзамен был провален.

Купив в ближайшем магазине бутылку портвейна, он выдул ее из горлышка в подъезде, покурил немного у заплеванного окна и пошел по купленному билету в кино – делать все равно было нечего. Усевшись на свое место, он опустил взгляд на спинку кресла впереди и почувствовал, как зал начинает крениться набок. Но дело было не в выпитом.

Перед ним чернела жирная надпись несмываемым маркером: «САН 34». Что такое «САН», он не знал – может быть, группа в каком нибудь учебном заведении или что нибудь в этом роде. Зато он хорошо знал, что такое «34». Степа провел по надписи пальцем. Дерматин обивки был прохладным и шероховатым. Он несколько раз моргнул, проверяя, не обманывает ли его зрение. Потом он заверещал на весь зал, и от неприятностей его спасло только начавшееся затмение перед сеансом.

После этого случая стало окончательно ясно, что пакт, о котором он мечтал с детства, заключен. Приятной новостью было и то, что у числа «34» появились союзники – «17» и «68». Степа не назначал их на эту роль – все произошло само собой. Просто в какой то момент он понял, что эти два числа служат тридцати четырем, являясь вестниками – еще не самим солнцем, а обещанием света, сиянием на кромке расступающихся облаков.

Поняв, что услышан, Степа не только обрадовался, но и испугался. Было не очень понятно, кем именно он услышан. Иногда ему становилось жутко – он понимал, что втянулся в странную игру, выйти из которой будет непросто.

Такие попытки были. Однажды, совершая посвященный числу «34» ритуал, он отсидел в темном деревенском погребе тридцать четыре часа и натерпелся серьезного страха. Были даже галлюцинации, на редкость малоинтересные, – простоволосая баба в юбке из мешковины начинала переставлять горшки в углу каждый раз, когда он о чем то задумывался и забывал, что никаких горшков и бабы там нет. После этого опыта он решил, что сходит с ума, и дал себе слово больше не заниматься ерундой. Но сделать что нибудь с психическим зарядом, который он по капле влил в любимое число, было нельзя. Теперь эта энергия существовала независимо от него, или, во всяком случае, так казалось. Можно было сколько угодно убеждать себя, что «34» – такое же число, как и все остальные, и клясться, что детские игры остались позади, но глубин души это не затрагивало. Стоило ему увидеть тройку рядом с четверкой, как дрожание центрального нерва личности показывало, что его договор с числами остается в силе – и будет теперь в силе всегда.

Из круглолицего мальчика Степа превратился в такого же круглолицего молодого человека, словно все возрастные трансформации свелись к тому, что его накачали насосом и подкрутили вверх усы. Если бы в Степином окружении нашелся человек, знающий о его тайне, он, наверно, увидал бы в чертах его лица связь с числом «34». У Степы был прямой, как спинка четверки, нос – такие в эпоху классического образования называли греческими. Его округлые и чуть выпирающие щеки напоминали о двух выступах тройки, и что то от той же тройки было в небольших черных усиках, естественным образом завивающихся вверх. Он был симпатичен и напоминал чем то покемона Пикачу, только взрослого и пуганого.

Несмотря на некоторую полноту, Степа нравился женщинам. Мужчинам он нравился тоже – но по другой причине: он производил впечатление божьего одуванчика, которого можно не принимать всерьез. За такой поверхностный вывод поплатились многие недотепы брутального вида. Степа не был коварен. Но в обиду себя не давал.

Выбор профессии оказался для Степы прост – он поступил в финансовый институт. Страсти к бухгалтерскому делу у него не было, но информация об этом учебном заведении оказалась на тридцать четвертой странице пособия для поступающих в вузы.

Наблюдая за товарищами по учебе, он начал замечать, что многие из них, как и он, придают значение числам. Но они не брали на себя ответственности за то, какие именно числа управляют их жизнями, и походили на стадо баранов. Они склонялись перед избалованной семеркой и уважительно относились к троице за то, что ее «бог любит», хотя могли при этом не верить в Бога. Кроме того, все боялись числа «13». Для этого страха был даже специальный греческий термин, «triskaidekaphobia». Это дикое слово было производным от греческого «тринадцать», но Степа слышал в нем что то вроде иррационального страха отравиться треской в буфете дома культуры.

Постепенно Степа перестал считать себя ненормальным. Особенно в этом помог фрагмент из романа Толстого «Воскресенье», который он прочел летом на даче, когда под рукой не оказалось ничего интереснее. Один из героев, член суда, проделывал операцию, которая показалась Степе настолько значительной, что он скопировал в тетрадь по военной подготовке посвященный ей абзац:

«Теперь, когда он входил на возвышение, он имел сосредоточенный вид, потому что у него была привычка загадывать всеми возможными средствами на вопросы, которые он задавал себе. Теперь он загадал, что если число шагов до кресла от двери кабинета будет делиться на три без остатка, то новый режим вылечит его от катара, если же не будет делиться, то нет. Шагов было двадцать шесть, но он сделал маленький шажок и ровно на двадцать седьмом подошел к креслу».

Степа понимал, что вряд ли какой то юрист взял и рассказал мятежному графу о своей привычке за рюмкой шартреза. Скорее всего, Толстой наделил героя одной из собственных тайных черт. А раз сам Толстой грешил чем то подобным, волноваться за свой рассудок не стоило.

Когда сомнения отпали, Степина жизнь стала проще. Число «34» с железной необходимостью диктовало ему все существенные поступки. Но это не значило, что Степа с утра до вечера занимался только тем, что искал, как бы втиснуть эти цифры в реальность. Пустяковые

каждодневные дела могли находиться в нейтральной зоне – там, где большинство людей проводило все свои жизни. Но если решение, которое Степа собирался принять, могло иметь серьезные последствия, он обращался к своему невидимому союзнику.

Практически в любом событии или процессе можно было выделить область, которая находилась под согревающими лучами заветного числа. Можно было сесть на тридцать четвертое место в поезде, увозившем в новый город, отжаться тридцать четыре раза во время зарядки или выпить чай за тридцать четыре глотка. Проще всего было сосчитать про себя до тридцати четырех. По этой причине, кстати, Степа слыл человеком с железным самообладанием, который никогда не срывается и не ввязывается в склоки – даже тогда, когда не выдерживали самые непробиваемые, те, кто следовал правилу «сосчитать до десяти» перед тем, как ответить грубостью на грубость или заехать обидчику кулаком в рожу. У его выдержки было математическое объяснение: 34>10.

Однако не все в жизни было гладко. Постепенно на горизонте возникла туча, которая с каждым днем закрывала все большую часть некогда безоблачного простора. И пришла она из того же измерения, откуда перед этим появилось число «34».

Дело было в том, что из тех же цифр – тройки и четверки – можно было составить еще одно число, «43». Но если «34» вмещало в себя все лучшее, что было в Степиной жизни, то «43» было его антиподом, эдаким портретом Дориана Грея. Это сравнение казалось Степе уместным, потому что Дориан Грей и «43» находились в отдаленном родстве – «D» была четвертой буквой латинского алфавита, а согласных в слове «Дориан» было три. Степа сознательно выбрал «34» в качестве своего ангела хранителя. А «43» влезло в его жизнь без спроса, совершенно не интересуясь, хочет он этого или нет.

Мало помалу Степа стал замечать неприятные вещи, связанные с этим числом. То, что цифры стояли в нем в обратном порядке, делало его как бы противоречащим мировой гармонии – или, во всяком случае, той части мировой гармонии, которая работала на Степу. У этого было историческое доказательство – в тысяча девятьсот сорок третьем году произошла одна из решающих битв великой войны, Курское танковое сражение, – и число «43» было до сих пор заряжено жутковатым эхом той даты. Во время этой битвы было уничтожено огромное количество «тридцатьчетверок». Число «43», несомненно, символизировало гибель всего того, что сулило Степе удачу и свет.

Степа стал обращать внимание на то, при каких обстоятельствах «43» появляется в его жизни. Этому всегда сопутствовало что нибудь малоприятное. Встретив это число, Степа заранее настраивался на неудачу, а четвертого марта с самого утра помнил, что в этот день его ждут одни беды.

Могло ли быть так, что он подсознательно устраивал эти беды сам? Такая возможность приходила ему в голову. Все можно было объяснить простым самовнушением. Только это объяснение на самом деле не объясняло ничего. Человеческое существование, говорил один Степин знакомый, и есть не что иное, как сеанс самогипноза с принудительным выводом из транса. Слово «самовнушение» звучало научно, но Степа не изучал свою жизнь, а жил ее. Как бы это ни называли другие, радость, наполнявшая его душу, когда судьба посылала ему тройку с четверкой в нужном порядке, была для него совершенно реальна. Но за это приходилось платить такой же реальной тоской, которая сжимала его сердце, когда порядок цифр оказывался обратным.

Сильнее всего пугало даже не то, что в его жизни без спроса появилось число «43», вокруг которого концентрировалось зло. Он догадывался, что свет и тень нераздельны. Проблема была в другом. Иногда трудно было понять, с чем он имеет дело – с сорока тремя или с тридцатью четырьмя. Например, глядя на фотографию «Титаника», он сразу замечал четыре трубы и три промежутка между ними. Это было «43», что не требовало никаких доказательств. А если доказательства были бы нужны, судьба этого корабля говорила сама за себя.

С другой стороны, вилка, которой он каждое утро цеплял залитый яйцом бекон, тоже имела четыре зубца и три промежутка между ними. Но он с давних пор видел в этой комбинации число «34», заряжавшее позитивной энергией каждый кусок, который отправлялся ему в рот. В таких случаях искать рационального объяснения было бесполезно.

Впрочем, логике и здравому смыслу все равно находилось место в жизни. Но в действие они вступали не тогда, когда надо было принять решение, а тогда, когда оно было уже принято. И нужны они были только для того, чтобы подобрать этому решению убедительное обоснование.

Ладонь с поджатым большим пальцем означала «43», когда он смотрел на нее с внутренней стороны. А с внешней она означала «34». Степа видел это безо всякой логики. Но он не знал, почему это так. И тут приходил на помощь разум. Он говорил, например, следующее: ноготь чем то похож на стекло мотоциклетной каски или забрало космического шлема. Поэтому, подавая хороший знак, ладонь как бы поворачивается к нему лицом. А когда она отворачивается, да еще становится виден скрюченный, словно побежденный большой палец, это дурное знамение – «43». Но Степа не сомневался, что если бы подсознание расставило числа наоборот, логика и здравый смысл тоже что нибудь придумали бы. Поэтому он относился к ним с добродушной иронией, как к информационным проституткам из телевизора, и не принимал их всерьез. Возможно, именно по этой причине он добился успеха в бизнесе, где рациональность решает все только на взгляд дилетанта.

Степин бизнес начался обыкновенно – с торговли компьютерами в позднюю горбачевскую эру. Любимому числу было где разгуляться на этом просторе, и нелюбимому тоже. Договоры, в порядковых номерах которых выскакивало «43», Степа брал под особый контроль, а если это число повторялось дважды, он вообще отказывался подписывать такую бумагу под любым, самым смехотворным предлогом – что бы ни орали партнеры и заказчики. Разбивая компьютеры на партии, Степа старался, чтобы их было именно 34 («Такая поставка, – объяснял он клиенту, заказавшему сотню „экстишек“, – завтра столько же, а послезавтра остаток»). Если партии были совсем мелкими, то он старался распределить их так, чтобы в первый день ушло три машины, а на следующий – четыре. Потом он брал паузу, чтобы случайно не получилось число «43». Таких технологий у него было много.

Поскольку весь вырабатываемый душой страх тратился у него на отношения с числами, бандитов Степа почти не боялся. Его пугала мысль, что в него могут выстрелить из «кольта» сорок третьего калибра, но такая вероятность была мала. Бывало, что очередное появление братков каким то

образом совпадало с манифестацией ненавистного числа, и тогда Степа вел себя как обычный трусливый коммерсант. Но бандиты, ошибочно принявшие это на свой счет, могли поплатиться.

Один раз на Степин бизнес наехали гастролировавшие в Москве чеченцы – некие «урус мартанские». Проанализировав по укурке это слово, Степа путем замысловатых вычислений, связанных с номерами букв в алфавите и порядком букв в слове, нашел в нем дважды повторяющееся число «43» и согласился на все их требования. Но, повторив расчеты с утра на ясную голову, он понял, что ошибся. Проверив себя еще два раза, Степа позвонил своей крыше, тоже чеченской, – двум братьям с библейскими именами Иса и Муса. Когда урус мартанские приехали за деньгами, состоялся короткий геральдический диалог, прямо в ходе которого Иса и Муса расстреляли гостей надпиленными крестом пулями из своих «Стечкиных». Урус мартанские принадлежали к враждебному тейпу.

Кресты на пулях не имели никакого отношения к христианству – такая пуля, попадая в тело, не прошивала его насквозь, а распускалась косматой свинцовой розой и отшвыривала собеседника назад, не оставляя ему тех нескольких секунд дееспособности, которые часто портят все на свете. В результате о Степе пошла слава как о расчетливом и жестоком человеке с железной хваткой, который не просто может устроить обидчику встречу с Аллахом, но способен даже стравить чеченов друг с другом.

Эта слава оказалась кстати, когда Степа стал расширять свой бизнес. Числиться негодяем и убийцей было полезно. Это защищало от человеческой подлости: души повышенной конкурентоспособности узнавали демона старше рангом и уходили восвояси – кидать об колено тех, в ком угадывались хоть какие то черты Спасителя. Степа по натуре был добрым человеком, склонным прощать обидчиков и помогать тем, кто попал в беду, но из за истории с урус мартанскими это удалось скрыть от общества.

Вскоре выяснилось, что его давнее решение поступить в финансовый институт было мудрым выбором. Пригодились не полученные знания о природе социалистических финансов (от них ничего не осталось в голове), а знакомства: бывший профорг курса помог Степе зарегистрировать собственный банк. Оказалось, что многих ключевых людей он знает еще с тех времен, когда бизнес назывался комсомолом. По настоящему сложным было только одно – придумать банку название.

Над этим вопросом он ломал голову долго. Скомканные листы бумаги, исписанные отвергнутыми вариантами («Воробьевы горы», «Волшебник Гудвин», «Великий Гермес»), заполнили сначала корзину для мусора, а потом все углы рабочего кабинета. Сотрудникам было запрещено соединять со звонящими, пока длятся муки творчества, и они уже начинали беспокоиться о состоянии шефа, когда решение нашлось.

Оно было парадоксальным. Степа вспомнил надпись на спинке кресла, увиденную в кинотеатре в день семнадцатилетия – «САН 34». В слоге «САН» не было ничего общего с «34». С другой стороны, трудно было найти слово, до такой степени родственное главному числу Степиной судьбы. Но понять этого не смог бы даже самый проницательный недоброжелатель, и тайна оставалась тайной. Так родился «Санбанк».

Под название подобралось и поле деятельности. Естественным образом им оказались проекты, связанные с санитарией и городской канализацией. Над Степой посмеивались друзья и знакомые из банков, названия которых напоминали об оазисах в знойных пустынях или тропических орхидеях, питающихся жуками и мухами. Но Степа не обижался – от романтических имен, которыми его однокурсники награждали свои детища, за версту тянуло статьей и пулей. Было ясно, что долго они существовать не будут. А вот «Санбанк» был чем то настолько унылым и никому не нужным – а значит, никому и не мешающим, – что это название («несколько пованивающее имя», как выразился один эстетствующий таблоид) оказалось отличным камуфляжем. Многие сразу оценили, насколько спокойнее проводить серьезные операции через контору, которая ассоциируется с санитарным делом, чем иметь дело с каким нибудь «Гламур банком» или «Бонн банком». Меньше гламура, зато меньше головной бони.

Его бизнес рос и расцветал, словно гадкий утенок из сказки Андерсена, который незаметно превращался в лебедя. Этому помогла элементарная имиджевая операция – незадолго до кризиса девяносто восьмого года Степа перевел имя банка на английский как «Sun Bank». Когда эти слова засверкали рядом с русским названием на всех документах, стало казаться, что банк с самого начала имел отношение не столько к отечественной санитарии, сколько к англоязычному солнцу свободного мира, и «Санбанк» – просто русская транскрипция его настоящего имени. Не имея на это никаких прав, Степино детище стало восприниматься как ответвление сразу всех западных корпораций, в название которых входит слово «Sun». Степа сознательно сыграл на этом, содрав эмблему банка с логотипа «Sun Microsystems». Получилось похоже, только на месте стилизованных букв «s», «u» и «n» стояли цифры «3» и «4», настолько измененные художником, что непосвященный наблюдатель видел в них геометрический узор. Тех, кто помнил, с чего начиналось Степино дело, оставалось вокруг все меньше и меньше – да Степа и не особо за них держался.

Бизнес он вел так же, как во время торговли компьютерами. Разница была в том, что вместо коробок с надписью «fragile»2 теперь отгружались и загружались огромные суммы денег, и происходило это не в области видимых и ощутимых предметов, а в смутном измерении электромагнитных зарядов и электрических цепей, про которое Степа мало что понимал.

Всеми его решениями управляли два числа – «34» и «43»; первое включало зеленый свет, а второе – красный. Несмотря на это, дела у него шли лучше, чем у большинства конкурентов. Другие объясняли это его парадоксальной интуицией; сам же Степа знал, что все дело в животворном влиянии тридцати четырех. Впрочем, иногда, особо темной и длинной зимней ночью, в нем просыпался рационалист, и он принимался соображать, как такое может быть – люди с целым штатом консультантов, референтов, аналитиков и астрологов принимают взвешенные решения и проигрывают, а он, случается, отвергает верный выигрыш только из за того, что где то рядом с ним мелькает «43», или, наоборот, кидается в омут, откуда ему подмигнуло «34», и снимает банк (не всегда, конечно, но чаще, чем те, кто руководствовался здравым смыслом). Постепенно в его голове забрезжил ответ.

Эпоха и жизнь были настолько абсурдны в своих глубинах, а экономика и бизнес до такой степени зависели от черт знает чего, что любой человек, принимавший решения на основе трезвого анализа, делался похож на дурня, пытающегося кататься на коньках во время пятибалльного шторма. Мало того, что у несчастного не оказывалось под ногами ожидаемой опоры, сами инструменты, с помощью которых он собирался перегнать остальных, становились гирями,

тянувшими его ко дну. Вместе с тем, повсюду были развешены правила катания на льду, играла оптимистическая музыка, и детей в школах готовили к жизни, обучая делать прыжки с тройным оборотом.

Степа же следовал закону, о котором мир не имел никакого понятия. От броуновских частиц, которые метались в поисках наикратчайшего пути и в результате проводили свой век, вращаясь в бессмысленных водоворотах, он отличался тем, что траектория его жизни не зависела от калькуляций ума. Он был как разумный человек среди диких зверей, которых гнал куда то инстинкт. При этом дикими зверями остальных делало как раз стремление поступать как можно обдуманней, а его в разумного человека превращало то, что вместо путаных указаний рассудка он раз за разом подчинялся одному и тому же иррациональному правилу, о котором не знал никто вокруг. Это была самая настоящая магия, и она была сильнее всех построений интеллекта.
34

Степе исполнилось тридцать четыре года в разгар ельцинской эпохи. Степа понимал, что это центральный год его жизни – он был молод, полон сил, банк крутил такие деньги, что иногда становилось страшно оставаться одному в темноте, но главным было не это. Он и число «34» на триста шестьдесят дней слились в одно целое. Степа чувствовал, что стал сакральным существом, чем то вроде римской весталки или понтифика, и невидимое присутствие божества будет осенять каждый его шаг весь срок. Надо было использовать это время с умом, и Степа старался.

Дела шли хорошо. Он заработал много денег и спрятал часть за границей – не потому, что чего то боялся, а потому, что так делали все. Но ему жалко было тратить этот необычный год только на материальные приобретения. Древние авгуры предсказывали будущее, наблюдая за полетом птиц с возвышенных мест. Так же и он хотел увидеть все главное про свою жизнь с вершины, на которой оказался. Степа чувствовал, что надо обратиться к какому нибудь духовному авторитету, посреднику между хаосом жизни и вечным порядком небес. Но к кому?

Отношение Степы к религии определили впечатавшиеся в память буквы «ХЗ», которые он ребенком увидел в церкви во время Пасхи (на церковной стене должно было гореть «ХВ», но одна стойка ламп не работала). Дело, однако, было не в сходстве этого сокращения с эмблемой воинствующего агностицизма. Все было куда серьезней. Число «43» проступало сквозь четыре конца буквы «Х» и тройку «З» (а если даже и воскрес, «В» все равно было третьей буквой алфавита).

С такими рекомендациями библейский бог не имел в Степиной душе никаких шансов. После юношеского чтения Библии у него сложился образ мстительного и жестокого самодура, которому милее всего запах горелого мяса, и недоверие естественным образом распространилось на всех, кто заявлял о своем родстве с этим местечковым гоблином. К официальной церкви Степа относился не лучше, полагая, что единственный способ, которым она приближает человека ко Всевышнему, – это торговля сигаретами.

Но это не значило, что он был вульгарным атеистом, признающим только силу денег. Он понимал, что число «34» – приоткрытая дверь, сквозь которую он общается с той же силой, которая доступна другим людям через бесконечное многообразие форм, в том числе и тех, которые

пугали его своим кажущимся уродством. Но на рынке религий не было продукта, который мог бы утолить его тоску по чудесному лучше, чем общение с числами.

Во всем, что выходило за пределы его тайного завета, Степа, как и большинство обеспеченных россиян, был шаманистом эклектиком: верил в целительную силу визитов к Сай Бабе, собирал тибетские амулеты и африканские обереги и пользовался услугами бурятских экстрасенсов. Поэтому, когда он ощутил потребность в духовном напутствии, он отправился к болгарской прорицательнице Бинге, которая считалась в то лето в Москве хитом сезона. Говорили, что Бинга видит чужое будущее так же ясно, как обычный человек свое прошлое.

Бинга оказалась полной женщиной, одетой в ворох пестрых тряпок. В комнате, где она принимала посетителей, пахло травами, пучки которых сушились на нитке под потолком. По углам стояли обломок античной колонны, почерневшая прялка, ламповый приемник «Siemens» и древняя закопченная лавка. На стене висела книжная полка с подшивками журнала «National Geographic», портрет Елены Блаватской и плакат художника Мухи, изображавший загадочную красавицу в стиле модерн на фоне раскрывшего крылья орла.

Степу разочаровало увиденное. Этнографические экспонаты отдавали какой то дешевой декорацией. Бинга брала за свои услуги столько денег, что было понятно – ей не надо ни прясть, ни сушить травку на нитке. Ее дом окружала целая бизнес деревня с офисом, несколькими кафетериями, гостиницей и даже магазинчиком сувениров. Но в этом, возможно, и была проблема: на Бингу мог работать персональный дизайнер, который и натаскал в комнату уродливую рухлядь.

Эти мысли пронеслись у него в голове за одну секунду, а в следующую Бинга улыбнулась, показала на стул напротив своего кресла и сказала на чистейшем русском:

– Верно, милый. Все зло на свете от них.

Степа сел.

– Вы говорите по русски? – спросил он.

– А то, – сказала Бинга и взяла в руки картонный калейдоскоп дешевого вида. – Я кончала Харьковский педагогический. Правда, давно. Подозреваю, что с тех пор педагогическая наука ушла далеко вперед.

Степа помнил, сколько стоит каждое слово, и не стал задавать вежливых вопросов про Харьковский педагогический. Бинга подняла калейдоскоп и уставилась сквозь него на Степу, словно это была подзорная труба. Поворачивая его под разными углами, она наклонилась вперед, словно увидала что то интересное. Постучав толстым пальцем по стенке картонного цилиндра, она наморщилась, а потом захохотала – так громко, что входная дверь открылась, и в комнату заглянул испуганный секретарь. Степа ничего не сказал – перед сеансом его проинструктировали не задавать никаких вопросов, пока Бинга смотрит.

Отсмеявшись, Бинга минуты три четыре молча глядела в калейдоскоп, иногда чуть встряхивая и поворачивая его.

– Фу! – сказала она не то с осуждением, не то с недоверием. – Фу!

Степа покраснел, но промолчал. Бинга отложила картонную трубку в сторону.

– У тебя в жизни есть два главных числа, – сказала она. – Лунное и солнечное.

Степа ничего не ответил, только плотнее прижался к спинке стула.

– Тебе солнечное число лет, – сказала Бинга, – поэтому ты думаешь, что это особенный год в твоей жизни. Но это на самом деле будет довольно обычный год. Ничего не случится. И следующие годы твоей жизни будут спокойными и счастливыми, примерно как этот. Но вот когда приблизится твой лунный год, вот тогда…

– Что? – дернувшись, спросил Степа. – Будет что то страшное?

– Один день, – сказала Бинга. – Какой то один день. Но это будет такой день, что из за него изменится вся твоя жизнь. Я не все разбираю – может быть, ты победишь. Может быть, наоборот, погибнешь. Может быть, и то и другое. Все будет зависеть от того, сумеешь ли ты помочь своему числу стать сильнее.

– А как я могу помочь своему числу стать сильнее? – спросил Степа.

– Я не знаю, – ответила Бинга. – Это же твое число, а не мое. Многое из того, что я вижу, от меня скрыто.

– Это как? – спросил Степа. – Как можно видеть то, что от тебя скрыто?

– Я вижу цветные мозаики, которые превращаются в рассказ о чужой судьбе, – ответила Бинга. – Но это просто картины, которые становятся словами. Я могу повторить эти слова, но не всегда сама понимаю их смысл.

– Может быть, их пойму я? – спросил Степа. – Что там такое?

– Я вижу твое будущее в трех цветах. Но все три цвета говорят разное. Когда я смотрю на синие стекла, я вижу библейскую историю. Ты возьмешь в руку копье судьбы, постигнешь число зверя, вступишь с этим зверем в бой и пронзишь его. Но зверь тоже попытается нанести тебе удар. Кто победит, я не вижу – словно вы оба срываетесь в бездну и исчезаете…

Степа вспомнил, что картинка на экране телевизора складывается из трех цветов – синего, зеленого и красного. Наверно, ясновидение Бинги было основано на похожем принципе.

– А что говорит зеленый? – спросил он.

– Зеленый говорит куда яснее, – ответила Бинга. – Зеленый говорит, что у тебя есть лунный брат, которого ты встретишь, и этот лунный брат и есть зверь.

– Лунный брат? – спросил Степа, завороженный странной красотой этого сочетания.

– Ты – человек солнечного числа. Твой лунный брат – человек лунного числа.

– Значит, лунное число и есть число зверя?

– Не знаю, – сказала Бинга. – Странно. Синий говорит, что это так. А зеленый говорит, что это библейское число зверя, 666, которое у твоего лунного брата на руке. Во всяком случае, две цифры из трех я вижу ясно.

– А что говорит красный цвет?

– То, что говорит красный цвет, настолько неприлично, что я не могу рассказать про это вслух, не оскорбив помогающих мне ангелов. Но это не только неприлично, это еще и смешно.

– А можно хотя бы как нибудь иносказательно?

– Можно, – сказала Бинга, надула щеки, сделала круглые глаза и с пронзительным звуком выпустила воздух из щелочки между сжатых губ.

Открылась дверь, и в комнату опять заглянул секретарь. Убедившись, что все живы, он жестом показал Степе, что ему пора.

– Последний вопрос, – сказал Степа, вставая, – могу я верить своему числу?

– Да, – сказала Бинга. – Но тебе надо не только верить, а еще и служить ему. Тебе надо ухаживать за ним, словно это роза, которая растет в пустыне. Особенно важно это станет, когда приблизится лунный год. Если в это тяжелое время ты сумеешь сделать так, что солнечное число станет сильнее лунного, ты победишь. Но ты обязательно должен успеть до своего дня рождения.

Степа пошел к двери.

– И еще, – окликнула его Бинга. – Солнечное число может быть любым. И лунное тоже. Дело не в числах, а совсем в другом.

– В чем? – спросил Степа.

Бинга пожала плечами.

– Если ты сам не видишь прямо сейчас, – сказала она, – кто и когда тебе объяснит?

Через несколько лет после Степиного визита к Бинге в стране начался процесс, который западные социологи называют парадигматическим сдвигом. Как и все эпохальные перемены, он проходил

незаметно, словно бы в каком то другом измерении, и люди узнали о нем постепенно, по множеству мелких черт, каждая из которых сама по себе могла ничего не значить.

Первым человеком, который внятно сформулировал для Степы то, что уже давно витало в воздухе, стала Мюс, филолог из Лондона, которая кормилась на его англофилии, подрабатывая в банке референтом переводчиком.

Мюс была очаровательной молодой женщиной, до изумления похожей на кошечку. У нее были большие как у страха глаза и удивительная прическа, которая состояла из короткой стрижки и шести «антенн» – пучков волос, слепленных сильнейшим гелем в длинные параллельные иглы, парами торчавшие из ее головы вверх и в обе стороны (она даже вплетала в эти стрелки проволоку – они были слишком тонкими и длинными для одного геля). Эти покачивающиеся антенны так напоминали Степе кошачьи усы, что ему все время казалось – Мюс вот вот мяукнет.

Кроме работы в банке, она стажировалась при университете, проедая остатки гранта, выделенного какой то аналитической структурой на изучение современного городского фольклора (как говорила сама Мюс, такие проекты оплачивали исключительно для того, чтобы не сокращалось бюджетное финансирование разведдеятельности по России).

Мюс великолепно знала русский язык, который достался ей по наследству от эмигрантки бабушки, но русской себя не считала. То, как она разбиралась в своей теме, наполняло Степу глубоким уважением к ее интеллекту и филологическим способностям. Он сумел помочь ей с городским фольклором только раз, сообщив чеченскую поговорку «В один пуля нет вони», которую часто слышал от Исы с Мусой. Мюс записала ее на специальную серо коричневую перфорированную карточку, но сказала, что это, вероятнее всего, версия пословицы «Один в поле не воин», которую чеченская народная душа заимствовала у русской в те времена, когда они были мирными соседями по нарам. Словом, Мюс была умницей и настоящим профессионалом. Поэтому Степа не комплексовал, когда она объясняла ему вещи, которые, по идее, должен был объяснять ей он.

Однажды за обедом в «Гараже» (они сидели в прозрачном выступе на улицу, откуда открывался вид на казино «Шангри Ла» и редакцию «Известий»), Мюс коснулась его самого больного нерва.

– Все существенные социальные перемены, – сказала она, – очень быстро отражаются в фольклоре. То, что происходит сейчас в России, затрагивает один глубинный, можно сказать, архетипический пласт. Я не очень сложно выражаюсь?

– Ничего, разберусь, – отвечал Степа, подхватывая вилкой колобок риса с полоской сырой туны (он ел суши только вилкой).

– Эта тема, – продолжала Мюс, – столкновение двух исконных начал русской души. Одно из них – доброе, лоховатое, глуповатое, даже придурковатое, словом, юродивое. Другое начало – наоборот, могучее, яростное и безжалостно непобедимое. Сливаясь в символическом браке, они взаимно оплодотворяют друг друга и придают русской душе ее неиссякаемую силу и глубину.

Степа промокнул салфеткой губы и покосился на аккуратную грудку собеседницы.

– Допустим, – сказал он. – А при чем тут перемены?

– Вот тут и начинается самое интересное, – ответила Мюс. – Лоховатое начало в русском городском фольклоре много лет было представлено разваливающимся «Запорожцем». А непобедимое начало – бандитским «Мерседесом 600», в зад которому «Запорожец» врезался на перекрестке, после чего и начинался новорусский дискурс. В чем символическое значение перекрестка, объяснять не надо – это и крест Господень, и распутье, и роза ветров… Есть много причин, по которым народная душа вступает в брак с собою именно на перекрестке. Это надо раздвинуть?

Иногда Мюс все же употребляла кальки с английского.

– Нет, не надо, – сказал Степа. Про символический брак он слушать не хотел – слова «бандит», «зад» и «дискурс» в одном предложении не особо радовали. Дело было в том, что попытки Мюс объяснить ему смысл слова «дискурс» не увенчались успехом, и единственная ассоциация, которая у него каждый раз возникала, была с болгарским словом «кур», аналогом великого русского трехбуквенника, отчего «дискурс» казался чем то вроде дисконтного пениса из Болгарии. Из за этого смысл фразы делался грозно многозначительным.

– Важно здесь то, что сегодня этот символический брак происходит в новой форме. Социологи еще ничего не поняли, а фольклор уже отразил случившуюся перемену. Она видна в анекдоте про шестисотый «Мерседес» и черную «Волгу». Как следует из его анализа, оба исконных начала – лоховатое и непобедимо могучее – получили в народной ментальности новые репрезентации. Эта революция в сознании и есть парадигматический сдвиг. Я понятно говорю?

– Нормально, – сказал Степа. – А что за анекдот такой?

– Ну как же, – ответила Мюс. – Шестисотый «Мерседес» врезается на перекрестке в зад черной «Волге» с тонированными стеклами. Бандит выскакивает из «Мерседеса», начинает прикладом крушить стекла в «Волге» и видит в ней полковника ФСБ. «Товарищ полковник, я все стучу, стучу, а вы не открываете… Куда деньги заносить?»

Степа не засмеялся, а наоборот, сразу пригорюнился. Мюс добавила:

– И чем этот анекдот особенно интересен, это тем, что других после него уже не предвидится. Он, так сказать, один на всех, как победа.

– Какой же это анекдот, – вздохнул Степа. – Это жизнь…

Он и сам всей кожей чувствовал ветер перемен, хоть и не мог найти для его описания таких замечательных слов, какие были у Мюс.

Жизнь менялась. Бандиты исчезали из бизнеса, как крысы, которые куда то уходят перед надвигающимся стихийным бедствием. По инерции они все еще разруливали по дорогам на вульгарно дорогих машинах и нюхали героин в своих барочных дворцах, но все чаще на важную стрелку с обеих сторон приезжали люди с погонами, которые как бы в шутку отдавали друг другу честь при встрече – отчего делалось неясно, можно ли вообще называть такое мероприятие

стрелкой. Степу эти веяния пока что не затрагивали. И вдруг ясным апрельским утром к нему прямо в офис завалилась крыша – страшные братья Иса и Муса.

Степа сразу понял – что то не так. Иса и Муса пришли без звонка, и вид у них был тревожный. Оба были небриты, и если это шло молодому волку Мусе, то плэйбой Иса не выигрывал от седой щетины на подбородке совершенно. Она делала его похожим на пожилого пастуха, который нашел клубный пиджак среди обломков разбившегося в горах самолета. Кроме того, от братьев попахивало потом – похоже, они не мылись уже несколько дней.

– Пойдешь с нами, Степа, – сказал Иса.

В его голосе звучал такой спокойный фатализм по отношению к чужой судьбе, что Степа только в машине понял, что мог бы, наверно, и отказаться. Или не мог? Гадать об этом было поздно – братья посадили его на переднее сиденье, сами сели на заднее и велели шоферу ехать в центр. Всю дорогу они тихо о чем то спорили, продолжая начатый раньше разговор. Степа изо всех сил вслушивался в беседу, пытаясь догадаться, что его ждет и какие у братьев планы. Но об этом не было сказано ни слова. Он мало что понимал по словам, которые долетали до него сквозь шум движения. Иса говорил:

– Не позорь наш род, брат. Ты чечен, какой дзогчен? Нюхай их кокаин, порти их женщин, вали их мужчин. Но не ищи ничего в их душах, им туда шайтан насрал. Чего тебе в исламе не хватает?

– Говорят, – ответил Муса, – в конце этого пути можно стать радугой. А в конце твоего пути, Иса, становишься просто трупом. Ни один суфий не научит тебя стать радугой.

– Ай, радуга! – воскликнул Иса. – Я все про это знаю. Почему ты думаешь, что твой брат такой дурак? Чтобы стать радугой, надо всю жизнь сидеть в вонючей пещере. И то неизвестно, получится у тебя или нет – никто не видел ни одного человека, у которого это получилось, все видели только радугу. Ты говоришь, в исламе нет радужного тела. Это так, да. Я тебе больше скажу. В исламе нет астрального тела, нет ментального тела, нет эфирного, нет кефирного, профсоюзного и так далее. Всего этого нет. Но зато у нас есть шрапнельно осколочное тело, которого нет ни у буддистов, ни у христиан, ни у кого. И его, брат, можно достичь всегда, даже с похмелья или на самом страшном кумаре. По милости Аллаха его можно обрести за пять минут, нужно только четыре кило хорошего пластита и три кило стальных шариков. И детонатор, понятное дело. И не надо сидеть всю жизнь в вонючей пещере, бормоча какие то заклинания. Быстро! Красиво! А природа у этих тел все равно одна и та же!

– Это почему? – спросил Муса.

– Да потому, что другой вообще не бывает.

– Не понимаю.

– Если ты этого не понимаешь, брат, как же ты тогда собираешься стать радугой?

Иса довольно засмеялся. Муса погрузился в глубокую думу. Иса время от времени говорил шоферу, куда поворачивать, и вскоре машина выехала на Тверскую.

– Куда едем то? – задал Степа мучивший его вопрос.

– На стрелку, куда ж еще, – ответил Иса.

– А с кем?

– Да с одним фраером из ФСБ. Говорит, у него сразу к нам троим дело.

– А мне обязательно присутствовать? – осторожно спросил Степа. – Я же в этих делах не того… Может, вы между собой вопрос решите?

Иса пожал плечами.

– Я то не против. Но этот, из ФСБ, настаивал. Говорил, документ какой то подписать надо. Все уже подписали, только мы остались.

– А кто это такой? – спросил Степа.

– Какой то капитан Лебедкин.

– Я такого не знаю.

– Я тоже, – ответил Иса. – Зато он нас знает. Вот и познакомимся, время такое, что лучше дружить. Тормозни ка у перехода, дальше пешком дойдем. Тут близко.

Последние слова были адресованы шоферу. Машина остановилась.

Степа поглядел в окно. Они находились на Тверской возле площади Белорусского вокзала. На улице была весна. Ярко синело свежевымытое небо, и даже асфальт лучился какой то непонятной пыльной радостью. Но Степе совсем не хотелось вылезать из машины навстречу этому великолепию. Больше того, если бы в полу машины был люк, а под этим люком другой, канализационный, то Степа горлумом перелез бы из солнечного апрельского дня в темное подземное зловоние. И вовсе не из верности идеалам «Санбанка». Ему было страшно.

Сзади хлопнула дверь.

– Выходи, приехали, – позвал с улицы Иса.

Когда они спустились в подземный переход, Иса весело объяснил, что выходить из машины перед стрелкой следует не меньше чем за сто метров от места встречи, и приближаться к нему надо рассредоточившись – «чтобы не поставили на фугас», как он выразился. После этих слов Степа несколько секунд боролся с позорным желанием отойти в сторону, снять штаны и присесть прямо между лотков с криминальными романами. Он никогда раньше не ездил на стрелку, и у него было дурное предчувствие. Но братья, казалось, совсем не были озабочены происходящим – Муса думал о чем то своем, а Иса насвистывал, зорко поглядывая по сторонам.

– Куда идем? – поинтересовался Степа, когда они поднялись на поверхность с другой стороны Тверской.

– Уже пришли почти. Тут рядом, ресторан «Якитория».

Степа помнил из статьи в каком то журнале, что слово «Якитория» значит по японски что то вроде «шашлычная».

«Вот и пустят на шашлыки, – подумал он. – Прямо сейчас».
43

Степа никогда не бывал в этом ресторане. Маленький зал с открытой кухней в центре напоминал формой букву «П». Кухню отделяла от остального помещения невысокая стенка аквариум. За ней стояли два повара – пепельно бледный кореец со шрамом на лбу, который резал рыбу и ловко лепил рисовые колобки, и его помощник, блондин в темных очках, который рубил водоросли большим ножом сечкой. Зал оказался пуст, только в одном углу закусывала компания спортсменов блатного вида. Их было пять человек, и один сидел за торцом стола, занимая большим телом в тренировочном костюме весь проход.

Покосившись на них, Иса прошел в противоположный конец зала и сел у стойки, лицом к кухне. Муса вместе со Степой молча сели по бокам от него. Степа догадался, что Иса выбрал позицию таким образом, чтобы аквариум с золотыми рыбками закрывал их от спортивной компании. Кроме того, он предположил, что Иса сел за узкую и неудобную стойку потому, что из за нее легче будет выскочить в случае опасности. Степа чувствовал себя суровым и опытным воином, только чуть тряслись руки.

Иса сделал заказ – три больших набора суши и саке. Саке принесли сразу, и все трое чокнулись.

– А как он хоть выглядит, этот Лебедкин? – прошептал Степа.

– Не знаю, – сказал Иса.

– За тем столом его случайно нет?

– Послушай, ну как я могу знать, есть он за тем столом или нет, если я его никогда не видел? Сам нас найдет.

Степа понял, что проявляет излишнюю суетливость, и погрузился в молчание. Братья тоже молчали – Муса все так же напряженно думал, а Иса с легкой улыбкой перебирал янтарные четки.

Прямо перед Степиным лицом была прозрачная стенка аквариума, над которым маячили головы поваров. Пепельный кореец работал, не отрывая глаз от стола. Блондин подмастерье приветливо улыбнулся Степе.

«Знал бы ты, дурень, зачем мы здесь сидим, – подумал Степа, – в штаны б насрал».

В желтоватой воде перед Степиными глазами висела большая золотая рыбка с раздвоенным хвостом – покачивая плавниками, она загадочно глядела на Степу круглым глазом кнопкой. Сквозь аквариум была видна разделочная доска, на которой руки повара нарезали одинаковые ломтики лосося. Степа подумал, что в самый раз было бы попросить о чем нибудь золотую рыбку.

«Рыбка, рыбка, – неслышно прошептал он, – сделай так, чтобы я ушел отсюда живой и здоровый… Эх, любые деньги отдал бы».

Рыбка махнула хвостом и отвернулась.

«Ну и жизнь у нее, – подумал Степа. – С одной стороны доска, где таких, как ты, разделывают. С другой стороны стойка, где таких как ты едят. Куда ни погляди, или то, или это. У рыб память – три минуты. Но даже это, наверно, не спасает, потому что с одной стороны все время режут, а с другой все время едят. Все как у людей. Плавает посередине, мечет свою икорку и надеется, что дети будут жить лучше… А я еще о чем то ее прошу».

– Эй, на кухне, поживее можно? – позвал один из спортсменов. – Уже сорок минут салат ждем.

Блондин кивнул, чуть сгорбился и принялся резать свои водоросли быстрее.

– И сними очки, дятел, а то не ту морковку нам нарежешь, – сказал другой спортсмен.

Остальные засмеялись. Ассистент повара действительно стучал своей сечкой по доске часто, как дятел, так что сравнение вышло точным.

Иса поглядел на часы.

– Опаздывает, – сказал он. – Занятый, наверно, очень.

Муса тоже поглядел на часы.

– Ты про кого, – спросил он, – про поваров? Или про того, кого мы ждем?

– Как тебе хочется, – ответил Иса. – Можно про того, кого мы ждем. А можно про поваров.

Эти слова, видимо, сдвинули думу Мусы с мертвой точки.

– Слушай, брат, – сказал он, – а что это за природа?

– Ты о чем? – спросил Иса.

– Ну ты в машине говорил, что у шрапнельно осколочного тела такая же природа, как у радужного. А что это за природа?

– Тебе про это лучше не спрашивать, брат, – нахмурился Иса.

– Почему?

– Ты к этому еще не готов.

– Как не готов?

– А так. Был бы готов, не спрашивал бы.

– Так ты можешь ответить или нет?

– Могу. Но если ты увидишь эту природу, ты потом не захочешь смотреть ни на что другое.

– И хорошо. Объясни.

– Лучше не торопись, брат.

– Нет, Иса, не увиливай. Говори. Я хочу знать.

– Я последний раз тебя как брат прошу, – сказал Иса, – перестань.

– Та а, – махнул рукой Муса. – Голову мне дуришь. Ты сам не знаешь.

– Я не знаю? – вскипел Иса и ударил кулаком по стойке так, что графинчик саке опрокинулся. – Я знаю!

– Тогда объясни. Я как мужчина и воин за свой базар отвечаю!

И Муса тоже ударил кулаком по стойке.

Глаза Исы превратились в две узких щелочки.

– Ну что же, – сказал он. – Ты сам попросил. Смотри теперь внимательно! Не пропусти!

Он поднялся на ноги и сдвинул в сторону два ближайших столика, опрокинув при этом несколько стульев. Встав в центре образовавшейся пустоты, он сложил руки в районе паха и легко закружился на месте, поднимая их вдоль туловища. Степа не успел налюбоваться на этот странный танец – Иса сделал всего несколько поворотов.

Когда его руки оказались на уровне груди, у Степы над головой грохнул удар такой ошеломляющей силы, что он сразу же перестал бояться чего бы то ни было.

Второй выстрел, раздавшийся следом, показался оглохшему Степе негромким – словно где то рядом с ухом разорвали кусок ткани. Иса больше не кружился, а сползал вниз по стене, оставляя за собой широкий кровавый след.

Третий и четвертый выстрелы Степа не столько услышал, сколько ощутил и увидел – ему на ноги хлынул холодный водопад из выбитой секции аквариума, а Муса, который поднимался с

соседнего стула, пытаясь вытащить руку из кармана, оказался лежащим у стены рядом с Исой в уютной позе эмбриона.

Вокруг братьев стала растекаться по полу общая темная лужа. Возле разжавшегося кулака Мусы в ней плавал маленький пластиковый кружок, в котором Степа опознал тысячедолларовую фишку из казино.

Стало тихо. Степа услышал, как на пол льется вода. Он поднял глаза. Там, где только что плавала золотая рыбка, теперь была прямоугольная пробоина – выстрелами выбило всю метровую секцию аквариума. За ней стоял ассистент повара в темных очках, сжимая в руках помповое ружье необычайно большого калибра. Самого повара видно не было – наверно, упал на пол.

За столиком, где сидели спортсмены, кто то охнул.

– Всем сидеть! – крикнул ассистент и махнул стволом. – Спокойно! Джедай бизнес!

Степа смотрел «Звездные Войны», и догадался, что страшного больше не будет. А в следующий момент он почувствовал, что у него на коленях что то трепыхается. В ложбинке между его мокрых ног, рядом с прядью водорослей и куском пластика, лежала золотая рыбка. Он протянул к ней руку.

– Руки на стойку! – заорал ассистент повара.

– Тут рыбка, – сказал Степа, поспешно выполняя приказ.

Почему то эти слова произвели на ассистента впечатление. Он перегнулся через стойку и посмотрел Степе на ноги.

– Верно, рыбка, – сказал он. – Вот попала, а? Сейчас что нибудь придумаем…

Он огляделся по сторонам, но, видимо, не увидел ничего подходящего. Тогда он положил ружье на разделочную доску, поднырнул под стойкой и подошел к столу, за которым сидела парализованная компания. Взяв лаковую ладью, в которой подавался парадный набор суши, он вывалил ее содержимое на голову спортсмену, который пошутил насчет морковки. Тот покорно дернулся на месте, даже не закрывшись руками. Ассистент повара вернулся на кухню и налил в ладью воды из под крана.

– Давай, – сказал он, ставя ладью на стойку перед Степой.

Степа со второй попытки подхватил рыбку в ладонь и пустил в ладью. Нервно вильнув хвостом, рыбка доплыла сначала до одного конца своей новой вселенной, потом до другого, и замерла на месте. Ассистент поглядел вниз, туда, где до сих пор прятался повар кореец.

– Слышь, любимый руководитель, – сказал он, – ты это, пусти ее потом в аквариум. А то я не пойму, как он у вас открывается…

Степа закрыл глаза.

Когда через минуту или две он немного пришел в себя и решился снова открыть их, в зале были новые посетители – трое в военной форме, еще двое в штатском. Растерянных спортсменов уже выгнали на улицу, даже не дав им забрать вещи – на окне осталась ярко желтая теннисная сумка. Степа увидел, как ассистент повара поднимает руку с оттопыренным большим пальцем, затем медленно поворачивает палец вниз. Ему кивнул майор с петлицами войск связи, который, кажется, был у прибывших за главного. Другой офицер надел на руку прозрачный пластиковый пакет, присел на пол возле трупа Исы и откинул в стороны опаленные полы пиджака.

На черной от крови рубашке было что то вроде упряжи, из которой торчали два вороненых пистолета, похожих на «кольты», только больше размером. Степа понял, что это и есть знаменитые «Стечкины», стреляющие очередями убивальники, из за которых о братьях ходила такая мрачная слава.

– Те самые, отвечаю, – сказал пожилой мужчина в штатском. – Срочно на баллистическую.

Степа почувствовал, как кто то трогает его за локоть. Рядом стоял стрелок в черных очках.

– Поговорим? – спросил он.

– Трудно отказаться, – ответил Степа, вставая.

Они устроились за столом у окна, там, где раньше сидели спортсмены. Степа сначала сложил пальцы в замок, но все равно было видно, что руки дрожат. Тогда он спрятал их под стол.

– Тебя я знаю, Степан Аркадьевич. Уже давно, – сказал блондин. – А я – скромный джедай Леонид Лебедкин. Можно просто Леон. Четвертое главное управление ФСБ по борьбе с финансовым терроризмом.

«Четвертое, – быстро подумал Степа, – это скорее ближе к „тридцать четвертое“, чем к „сорок третье“. Потому что одно слово целиком совпадает. Но, с другой стороны, начинается то с четырех! Неясно».

– Как так может быть, – спросил он, – четвертое главное? Что их, четыре главных?

Лебедкин засмеялся.

У него была удивительная манера смеяться, которая сразу запоминалась навсегда. Сначала смех звучал искренне и заразительно, а улыбка делала курносое лицо капитана таким симпатичным, что вспоминались романтические летчики из первых советских фильмов. Но на последних двух или трех тактах, когда смех затихал, в нем прорезалось что то пронзительное, звонко взвизгивающее и дребезжаще злое – словно долетало эхо какого то похожего по тембру, но не имеющего отношения к веселью звука. Этот звук был жуток, хотя Степа не мог сказать точно, что это такое – то ли стон, то ли вой лагерной суки, то ли визг тормозов. К тому же лицо смеющегося Лебедкина запрокидывалось вверх, и из под темных стекол вдруг обжигали холодом два бледно голубых внимательных глаза…

– Я объясню, – сказал он. – Вот смотри, с одной стороны, оно как бы четвертое. А с другой – для них, – он кивнул в сторону трупов, – оказалось самое главное, какое только бывает. Понял, нет?

Аргумент был простой и хрустально ясный, Степа оценил его сразу.

– Понял, да, – сказал он. – Так это вы нам эту стрелку…

– Можно и на ты, – перебил Лебедкин. – Чего мы с тобой, старперы, что ли?

– Так это ты нам эту стрелку назначил?

– Я назначил. Только не тебе, а им.

– А они сказали, что вы… То есть ты… Что ты всем троим велел прийти.

– Ты больше абреков слушай, – сказал Лебедкин. – Запомни, все чеченские крыши берут своих коммерсантов на стрелки в качестве живого щита. А пятьдесят процентов московских коммерсантов, которые побывали под крышей у чеченов, вообще кастрированы. Такой у них обычай. Ты про это знаешь?

Степа отрицательно помотал головой.

– И неудивительно. Кто ж в таком признается. Так что я тебе сегодня, можешь считать, жизнь спас, и не только жизнь, а еще кое что на бонус, понял, нет? А то, что они тебе говорили… Разводить они умеют, не ссы.

– Обязательно надо было их убивать? – спросил Степа.

– Ты, я вижу, так ничего не понял. Ты хоть знаешь, кто был этот Иса?

– Кто?

Лебедкин наклонился к Степе, и тот снова увидел его холодные голубые глаза, в этот раз над стеклами.

– Вращающийся дервиш смерти.

– А что это?

– Есть такой орден вращающихся дервишей, с центром в турецком городе Конья. Они типа вращаются на месте и входят в особый мистический транс. В общем, мирные люди. Но не все. Несколько человек из ордена перебежали к Усаме бен Ладену и основали новую школу огнестрельного боя. Знаешь, есть стрельба по македонски?

Степа кивнул.

– А это называется стрельба по кандагарски. Такой дервиш, короче, начинает крутиться, входит в транс, вынимает стволы, руки в стороны… А дальше все как в страшном сне. Хорошо, если у него, к примеру, два «Кольта» или там «Глока». Это еще уйти можно, если повезет. А если два «Узи» или «Аграна», в радиусе сто метров хана всему, что шевелится и думает. Понял, нет?

Лебедкин взъерошил ладонью волосы.

– Этот, – сказал он, кивая в угол, где лежал Иса, – у них вообще был что то вроде сэнсея. Про него легенды ходили. Пел стихи Джалалиддина Руми и хуячил из двух стволов не глядя, как швейная машина. Ни одна пуля зря не уходила. Страшный человек. Да что я тебе говорю. От него сам Саша Македонский как заяц бегал, когда Даниловский рынок делили. Правда, Михалыч?

Майор связи, который прислушивался к разговору, утвердительно кивнул.

– Так он что, – спросил Степа, – стрелять собирался?

– А ты думал. Он уже руки к груди поднял, еще секунда, и здесь все в дырах было бы.

Майор сел рядом с Лебедкиным и положил на стол черную папку с маленьким латунным замком. Степа посмотрел в его равнодушное, как у каменной бабы, лицо и вздохнул.

– Неужели нельзя было… Ну, договориться?

– Договориться? Хе хе хе хе… Михалыч, он нам не верит. Покажи ему.

Майор открыл папку и вынул из нее лист бумаги с картинкой, похожей на фотографию луны в телескоп.

– Что это?

– Спутниковая съемка. Тренировочный лагерь суфийского диверсионно штурмового батальона вращающихся смертников под Кандагаром. Вот в этом кружке – видишь, пипочка в центре? – палатка Исы и Мусы Джулаевых. Снимок сделан в момент, когда Иса говорит по спутниковому телефону с передвижным заводом по производству рицина в Панкисском ущелье. Понял, нет?

– Понял.

– Видишь в углу снимка цифры? Четырнадцать тридцать пять, шестое августа. Это чтоб сомнений не было. У нас и разговор записан, будь уверен.

– Круто, – сказал Степа.

– И ты таким людям платишь, Степан Аркадьевич. Как же так?

Степа виновато развел руками.

– Я не знал, – сказал он. – Откуда мне было знать, что они эти… вращающиеся финансовые террористы.

Лебедкин опять засмеялся, и Степе снова стало не по себе.

– Нет, Степан Аркадьевич, – сказал Лебедкин. – Финансовые террористы не они. Финансовый террорист у нас ты.

– Это как?

– А так. Подумай.

Степа начал думать. Ясность в уме наступила довольно быстро.

– Ага, – сказал он. – Ага… Кажется, понимаю. Я ведь правильно понял?

– Правильно, – кивнул Лебедкин.

– И как теперь, если да?

Лебедкин поглядел на майора связи.

– Ну как на такого парня злиться. Правильно сказал русский классик, «быть можно дельным человеком, ни разу срока не мотав».

– Там не так, – сказал майор связи. – Там кончается «ни разу зону не топтав».

Возникла пауза. Степа заметил, что у него почти полностью восстановился слух. Он слышал доносящийся с улицы шум машин. Детский голос прокричал «Дура! Не хочу!». Где то далеко далеко гудел самолет.

– Ну что, простим на первый раз? – спросил наконец Лебедкин.

Майор почесал голову.

– Простим, – сказал он. – Если перестанет терроризмом заниматься.

– Слышал, Степан Аркадьевич? – строго глянул на Степу Лебедкин. – Чтоб больше никакого терроризма у нас не было. Я не шучу.

– Понимаю, – скромно сказал Степа. – Постараюсь. Научите жить по новому.

– Встречаться будем раз в месяц, – сказал Лебедкин. – Как говорил государь Александр Павлович, при мне все будет как при бабушке. А как при бабушке было, я видел в дырочку, хе хе хе хе… Так что расслабься, Степан Аркадьевич, расслабься. Business as usual. Я, как тебя увидел, сразу понял, что ты к этим говнюкам никакого отношения не имеешь. Так что, если проблемы будут, с законом или наоборот, звони. Вот мой мобильный.

Лебедкин уронил на стол маленькую карточку.

– Вроде все у нас? – спросил он дружелюбно.

Степа кивнул.

Лебедкин взял папку, из которой перед этим вынырнула спутниковая фотография, и вынул из нее другой лист.

– Тогда подпиши, – сказал он, кладя его перед Степой. – Чтобы я в арбитраж мог пойти в случае чего, хе хе хе хе…

Степа поглядел на стол. Перед ним лежал гербовый бланк с коротким печатным текстом:

Меморандум о намерениях

Я, Михайлов Степан Аркадьевич, все понял.

Подпись:

Степа хотел было спросить, каким образом у Лебедкина оказался с собой лист с его впечатанным именем, если он действительно не приглашал его на встречу. Но он не задал вопроса. Отчасти потому, что не хотел лишний раз услышать странный смех капитана. А отчасти потому, что такой поступок вошел бы в противоречие с духом меморандума о намерениях, показывая, что он чего то до сих пор не понял. А ясно было все. Он вздохнул, поглядел на стойку, где так и стояла лаковая лодка (отчего то показавшаяся похожей на чеченскую погребальную ладью), и вынул из кармана перьевой «Mont blanc».

Бойня в «Якитории» наполнила Степину душу ужасом и омерзением, которые любой нормальный человек испытывает от близости насильственной смерти. Несмотря на это, он вынырнул из кровавой купели полный сил и оптимизма. Причина была простой: смена крыши произошла третьего апреля, то есть третьего числа четвертого месяца. Яснее число «34», наверно, не могло себя явить, разве что воплотиться в мессии с тремя ногами и четырьмя руками. Поэтому добравшийся наконец до него парадигматический сдвиг вызвал в Степе то же восторженное чувство, которое поэт Маяковский в свое время выразил в словах: «Сомнений не было – моя революция!».

Новое пришло к Степе с большим опозданием. Постоянная близость Исы и Мусы мешала поверить в реальность происходящих в стране перемен. Теперь, когда главную занозу вынули из мозга, горизонт показался безоблачно чистым. Но сомнение все равно мелькнуло на дне души: Степа помнил, что за границей при написании даты сначала ставят месяц, а потом уже число, и

тогда выходило, что жизнь по новым порядкам сулит ему самое настоящее «43». Но с этой мыслью жить было нельзя, и Степа не хотел даже начинать ее думать.

Ветер смерти, подувший совсем рядом, временно сделал его смелым человеком – он понял, что боялся не того, чего следовало, и, как часто бывает, до следующего сильного испуга перестал бояться чего бы то ни было вообще. Этим и объяснялся тот безрассудный привет, который он послал новой эпохе. У Мюс был знакомый рекламщик, которого она называла «циничным специалистом» и очень хвалила в профессиональном смысле. Степа проплатил рекламную плоскость на Рублевском шоссе, как раз в том месте, к которому выводила тропинка с его дачи. На этой плоскости поместили огромную эмблему ФСБ – щит и меч – и придуманный специалистом текст: «ЩИТ HAPPENS!»3

Через несколько дней ему позвонил Лебедкин.

– Слушай, – сказал он, – я тут по Рублевке проезжал. Где твоя наружка стоит… Насчет картинки все ништяк. Вот только текст какой то…

– А что такое? – спросил Степа.

– Ты закон о языке знаешь? Ну вот. Чтоб это английское слово убрал на хуй. Что у нас русских мало? Подумай, Степа, подумай. Картинку не трогай, а надпись подлечи. Понял, нет?

Степа понял. Пришлось снова обратиться к циничному специалисту. Тот придумал новый слоган, которым заклеили старый: «Все БАБы суки!» Этот вариант Лебедкину понравился гораздо больше.

– Вот! – сказал он, позвонив прямо с Рублевки. – Чувствуется человек, небезразличный к судьбам страны и мира. Не зря я тебе жизнь спас, Степа…

Самое интересное, что Лебедкин говорил сущую правду. Он действительно спас Степину жизнь.

Бизнес шел совсем не так гладко, как в дни, когда Степе исполнилось солнечное число лет. Сложности, начавшиеся после кризиса, не уходили, а все накапливались, постепенно сгущаясь в непробиваемую стену напротив его лба. Это тоже в некотором роде было связано с парадигматическим сдвигом.

В финансовом пространстве России оседала муть, в которой раньше могли кормиться небольшие хищники вроде «Санбанка». Все становилось прозрачным и понятным. Серьезные денежные реки, попетляв по Среднерусской возвышенности, заворачивали к черным дырам, о которых не принято было говорить в хорошем обществе по причинам, о которых тоже не принято было говорить в хорошем обществе. Степин бизнес в число этих черных дыр не попал по причинам, о которых в хорошем обществе говорить было не принято, так что Степа постепенно начинал ненавидеть это хорошее общество, где всем все ясно, но ни о чем нельзя сказать вслух. Он даже переставал иногда понимать, что, собственно говоря, в этом обществе такого хорошего.

Но волновали его не столько общественные проблемы, сколько профессиональные. А они заключались в том, что мелкие банки вымирали. Здравый смысл подсказывал, что это когда нибудь может произойти и с опорой священного числа – «Санбанком», – но защитные механизмы

Степиной психики не пропускали это понимание в область осознанного, что приводило к ночным кошмарам и дневным депрессиям.

Банкиры Степиного калибра решали проблему, ложась под крупные фирмы реального сектора. Они становились так называемыми «карманными банками». Перейдя на обслуживание одного главного клиента, они повисали в его финансовом потоке, как пловец, гребущий навстречу струе воды в бассейне с джет тренажером. При этом они могли по прежнему заниматься другими операциями, просто у них появлялась опора. Степа давно мечтал о таком варианте, но его пронзительная чеченская крыша, наследие эпохи первоначального накопления, отпугивала возможных партнеров. К сожалению, эту проблему было сложно объяснить Мусе с Исой. Степе достаточно было представить контуры будущего разговора (выражение удивления на небритом лице Мусы, сменяющееся недоверием, а потом гневом), чтобы у него пропало желание предпринимать хоть что то.

Но стоило его крыше потерять свой острый национальный колорит, как подходящий партнер нашелся сам. Через пару месяцев после знакомства с Лебедкиным на Степу вышли люди, представлявшие русско французскую нефтяную фирму «Ойл Эве». Она была зарегистрирована на территории Эвенкского национального округа (налоговая льгота, сразу понял Степа), а ее центральный офис находился в Париже (красное и белое, как говорил великий Стендаль). Они предложили Степе именно тот вариант, о котором он мечтал уже давно, – превратиться в «карманный банк» (такая операция на европейской банковской фене назвалась «merder» – гибрид слов «merger» и «tender»).

Степа проанализировал название «Ойл Эве». Первое слово состояло из трех букв. Второе – тоже из трех. Это походило на неустойчивое равновесие. Степа истолковал свои ощущения следующим образом – благоприятным или неблагоприятным союз станет в зависимости от его действий. Возражений со стороны чисел не предвиделось.

Была только одна проблема. О фирме «Ойл Эве» никто ничего толком не знал, из чего следовало, что это какая то подставная структура. Степа сразу понял, в чем дело. Это был семейный бизнес. Такой внезапный и высокий взлет вызывал приятную щекотку под ложечкой. Условия, которые предложили загадочные нефтяники, заставляли вспомнить о божественной любви, бесконечном милосердии и Махатме Ганди. Они даже брали на себя часть долгов, которые, если честно, у Степы к этому времени уже имелись. Им просто нужен был свой банк в Москве, на счет которого можно было бы перекачивать деньги из Парижа, хотя Степа не очень понимал, зачем им понадобилось идти против мирового порядка вещей – все стремились делать прямо обратное, уводя деньги из России как можно тише и дальше. Но ничего незаконного, как Степа ни вглядывался, во всем этом не было.

Единственное условие, которое он поставил новым партнерам, заключалось в том, чтобы они не меняли названия банка. Они согласились. Степа не верил, что его главная проблема решилась так просто вплоть до момента, когда все требуемые бумаги были подписаны. Когда он наконец в этом убедился, он позволил себе забыть о делах и расслабиться на целых тридцать четыре дня. Именно в это время и произошли события, превратившие его дружбу с Мюс в роман.

В сезон слива компроматов несколько московских таблоидов напечатали телефонный разговор Степы с неидентифицированным собеседником, которого он называл «дядя Борь». Разговор публиковался как компромат исключительно по той причине, что Степа матерился через каждое слово. Текст в газетах выглядел так:

Собеседник: (неразборчиво)

Степа: «Меня вообще ломают такие названия, дядя Борь. Что это такое: вилла „Лук Эрота“, павильон „Раковина Венеры“, пансион „Тс с с“. Мне как потребителю не нравится. Вводят в заблуждение».

Собеседник: (неразборчиво)

Степа: «Да потому что там ни х#я такого не будет».

Собеседник: (неразборчиво)

Степа: «Как честно? А вот так: агентство „Пи#да за деньги“, клуб „Разводка х#я“. Или салон „Бл#ди раком“».

Собеседник: (неразборчиво)

Степа: «Да какая чистота языка. Они просто хотят торговать пи#дой вразвес, а числиться купидонами. Вот и весь х#й, дядя Борь».

Степин имидж не пострадал от этой публикации совершенно. Наоборот, скандал придал ему респектабельности. Раньше у него был не тот статус, чтобы московские таблоиды подавали распечатки его разговоров в качестве острого блюда. Акулы покрупнее презрительно называли таких, как он, «карманниками» – конечно, имея в виду не карманное воровство, а «карманный банк». И прослушивали в тот раз не его, а собеседника. Но собеседник применил хай тек примочку, которой не было у ФСБ, и все, что он говорил, не прописалось на пленке. Поэтому, чтобы хоть чем то порадовать читателя, распечатали Степу, после чего он на целый месяц попал в список «сто ведущих политиков России».

Его даже сравнили пару раз с Жириновским. Степе это было приятно – Жириновский был единственным русским политиком, которого он уважал. Дело было не в политической платформе (про это в хорошем обществе не говорят), а в его высоком артистизме: разница между ним и остальными была такая же, как между актрисами одногодками, одна из которых все еще пытается петь, а другие, уже не скрываясь, живут проституцией.

Кроме того, смущенные сотрудники «Санбанка» получили некоторое представление об интимной жизни шефа.

Большинство женщин в Степиной жизни были профессионалками – они появлялись из специальных агентств, стоили освежающе дорого, были дивно красивы и в конечном счете рождали в клиенте чувство, которое Степа однажды выразил в следующих словах: «Какая, если вдуматься, мерзость эта красота». Некоторые из них были моделями, то есть стояли в иерархии ступенью выше, поскольку, как язвительно говорил Степа, торговали не только телом, а еще и сделанными с него фотографиями. Были и профессионалки самого высокого ранга – актрисы, которые специализировались на фотографиях подразумеваемой души.

Степины отношения с ними обычно не выходили за рамки оговоренного контрактом и длились недолго. Степа проверял их на причастность к числам без особой веры в то, что среди них отыщется его избранница. Интуитивно он чувствовал, что их отношения с его тайным миром просты как мычание: чем больше нулей, тем лучше.

Встречая девушку, которая ему нравилась, Степа старался выяснить, что она знает о числах и что числа знают о ней. Но он никогда не спрашивал об этом прямо. Окольных путей было много. Обычно Степа отправлялся с новой подругой куда нибудь на далекое море. Романтическая поездка на острова давала много возможностей приглядеться к другому человеку. Степа устраивал так, что тридцать четвертый и сорок третий номера в гостинице были свободны. Портье был заранее проинструктирован и проплачен – стоило все это, конечно, довольно дорого, но на своей судьбе он старался не экономить.

Первый тест выглядел так: на стойку ложился лист бумаги со списком свободных номеров, и Степа со словами «Выбирай, дорогая» передавал его подруге. В списке всегда было шесть вариантов, независимо от количества свободных мест в гостинице. Четыре были произвольными числами, которые представлялись Степе подобием пустых гнезд в барабане револьвера. Два гнезда были заряжены. Под влиянием наружной рекламы московских интернет провайдеров Степа про себя называл этот аттракцион «летка.ru».

Если девушка выбирала сорок третий, дальнейшее развитие событий было неумолимым. Степа вынимал из кармана мобильный и имитировал тревожный разговор о делах. Выяснялось, что ему надо срочно навестить американского партнера по имени Доу Джонс, который упал с лестницы и сломал ногу. Девушке предлагалось подождать в гостинице день два и ни в чем себе не отказывать. Сам Степа немедленно улетал чартерным рейсом, даже не попросив спутницу последний раз протрубить в его рог.

Подруга проводила несколько дней в неге и роскоши, а затем возвращалась к своим баранам, начиная догадываться, что Степа уже никогда не станет одним из них. Можно было, конечно, устраивать все и дешевле, отшивая несчастную прямо у стойки, но Степа был галантен с карьерными девушками и не экономил на их простых радостях, понимая, что кроме быстро разрушающегося физиологического ресурса у бедняжек нет других активов, и их прогноз на длительную перспективу ничуть не лучше, чем у инвесторов, целиком вложившихся в интернет проекты.

Если первый тест оказывался пройден, наступала очередь второго, такого же по сути, но иного по форме. Подруге предлагалось взять машину напрокат. Она отправлялась на стоянку выбрать автомобиль, который придется ей по душе, – ей надо было всего навсего записать его номер. Вслед за вторым тестом шел третий – заполнение карточек лото. За ним четвертый, пятый и так

далее – рано или поздно экзамен проваливали все, поэтому женщины не удерживались рядом со Степой дольше нескольких месяцев.

При этом набор его ожиданий, не связанных с числами, был довольно скромен. «She doesn't have to be a movie star»4, – тихонько напевал Степа вслед за Родом Стюартом, и действительно имел это в виду – ему достаточно было элементарной привлекательности. Он не ждал от избранницы, что она будет высокоточной секс бомбой или бывшей шпагоглотательницей, перековавшей мечи на орал.

Но у него была одна маленькая стыдная тайна. Степа иногда страдал тем, что на языке уголовной медицины называется «расстройством в сфере влечения», а на бытовом языке не называется никак, потому что о таких вещах люди друг с другом не разговаривают. Впрочем, на извращение это не тянуло – так, пустячок, ничего глубокого или сверхчеловеческого. Эта его особенность давала о себе знать редко и, как правило, не причиняла его спутницам неудобств.

Временами, когда он чувствовал, что скоро не сможет, так сказать, удержать чашу наслаждения, не расплескав ее, Степа проделывал одно странное действие. Он быстро слезал на пол, садился на корточки спиной к партнерше и заводил согнутые руки как можно дальше назад, стараясь ткнуться локтями прямо в ямочку между ее ягодицами. Он делал это потому, что при взгляде на воображаемое сечение этой композиции получалось «тридцать четыре»: тройку давал контур женского зада, а четверку – его торс и выброшенные назад локти. Это был его способ слиться с любимым числом не только умственно, но и телесно: после этого движения Степе не нужна была никакая дополнительная стимуляция, чтобы чаша наслаждения опрокинулась прямо на пол (в особо знойных случаях – вместе с партнершей, а один раз было, что и вместе с кроватью).

Степа был в курсе, что коллеги капитана Лебедкина провели много часов в просмотровом зале, ломая голову над этой особенностью его личной жизни. Было непонятно, могут ли считаться компроматом видеопленки, на которых под разными углами заснят этот однообразный и несколько суетливый маневр. Выглядело это очень странно, да. Но, с другой стороны, в этом не было ничего предосудительного или попадающего под описание осуждаемых обществом секс гештальтов. Во всяком случае, после моральной реабилитации онанизма, которую Мюс называла величайшим духовным завоеванием рыночной демократии. Поэтому Степа не переживал, считая, что трудно будет использовать против него такую ничтожную странность поведения в качестве компромата.

Вот если бы он имперсонировал в этой ситуации число «37», тогда можно было бы опасаться, что его позу истолкуют как нацистский салют, который его неудержимо тянет отдать сумрачной тени фюрера в момент оргазма. Это имело бы тяжелые последствия для банка, тут все было ясно на уровне корпоративной телепатии. А так – ну лыжник и лыжник, даже модно. Кому какое дело? Другие и не такое вытворяют.

Степа знал, что женщинам несложно смириться с такой его особенностью, напоминавшей о себе в дни, когда он чувствовал смятение и неуверенность в себе. Только этого, как заметил поэт Арсений Тарковский, было мало. Девушка его мечты должна была не просто принимать его странности, она должна была разделять его… его… Степа даже не знал, как это назвать. Выражение «духовные запросы» не подходило – он ничего ни у кого не запрашивал, запрашивали

чаще у него. «Интересы?» Тоже не годилось. «Религию?» Звучало слишком пафосно. «Суеверие?» Слишком презрительно и бескомпромиссно.

В общем, его спутница должна была чувствовать его душу, но не лезть в нее слишком далеко. Ей следовало знать о его отношениях с числами, но не все. Кроме того, она должна была быть вовлечена в магию чисел сама. Иначе Степа не смог бы довериться ей до конца – ему казалось бы, что она мирится ради денег с тем, что считает патологией и сумасшествием. Понятно, что найти такого человека было нелегко даже с его финансовыми возможностями, поэтому он сделался почти циничен. Женщины проходили по подиуму его души, не задерживаясь надолго, – покачивали бедрами, поправляли шляпки, улыбались, замирали на прощание в картинной позе и исчезали за кулисами, радуясь, если кроме денег им удавалось утащить чулки и пару туфель.

Мюс имела мало общего с этим типом связей. Ей было двадцать семь лет, что выходило за границы возрастной зоны от девятнадцати до двадцати пяти, в которой Степа подбирал своих нимфет. Общение с ней позволяло не только улучшить разговорный английский, но и расширяло его интеллектуальный горизонт. Мюс была эффектной спутницей – народ оглядывался на торчащие из ее прически «антенны». У нее была смешная привычка покусывать кончик карандаша, когда она над чем нибудь задумывалась, и Степу волновали полоски помады на желтом карандашном лаке. Ритуал ухаживания, который обычно занимал у него около часа (ужин, коктейль, душ), в этом случае оказался очень необычным и даже сделал Степу духовно богаче.

Все случилось во время мероприятия, которое даже самый утонченный развратник не смог бы отнести к области возбуждающего чувственность. Это было заседание литературного семинара, где Мюс выступала с докладом на тему «Новорусский дискурс как симулякр социального конструкта». Мюс посещала эти заседания по профессиональным соображениям, а Степа отправился с ней просто из интереса, как мог бы пойти на женский рестлинг в жидкой грязи или петушиные бои под «Хорошо темперированный клавир». Кроме того, ему хотелось заглянуть в мир, где Мюс проводит свое время.

Семинар проходил в здании одного из московских вузов, и темные пещеры пустых коридоров, по которым Мюс провела его к месту, несколько раз заставили его пожалеть, что он оставил шофера телохранителя в машине.

На второй минуте доклада он начал раскаиваться, что согласился на это приключение. В том, что говорила Мюс, он узнавал только слово «дискурс», относительно которого уже твердо для себя выяснил, что не в состоянии понять его смысл. Поэтому он перестал слушать и начал листать художественные журналы, которые стопками были разложены по партам – их принесли с собой собравшиеся на семинар. Сначала Степа взял альманах с ярко оранжевой обложкой, раскрыл его наугад и прочел:

«Говоря о читателе и писателе, мы ни в коем случае не должны забывать о других важных элементах творческого четырехугольника, а именно чесателе и питателе…»

Помотав головой, как вылезшая из воды собака, Степа перелистнул несколько страниц.

«…встречаются фразы, каждой из которых мог бы всю зиму питаться у себя в норке какой нибудь мелкий литературный недотыкомзер, – например, такое вот: „на дворе стоял конец горбачевской оттепели“».

Было непонятно, что особенного в этой фразе, и почему мелкий литературный недотыкомзер должен питаться ею всю зиму. Вместо того чтобы разделить сарказм автора, Степа вспомнил горбачевские времена, когда «Санбанк» делал первые шаги в клубах конопляного дыма, к которому еще не успел примешаться пороховой.

«Действительно ведь была оттепель, – подумал он с ностальгией, – а мы не понимали».

И ему до слез стало жалко свою растраченную юность, а заодно и неведомого недотыкомзера, которому нечем было закусить в зимней норке, кроме сырого повествовательного предложения.

Через несколько страниц после недотыкомзера в альманахе размещалась большая поэма какого то уголовного авторитета, посвященная, как следовало из предисловия, могуществу человеческого разума, которое автор со свежей силой осознал во время одного из своих таежных побегов. Она так и называлась – «Человек», и начиналась со строки:

Я развел и лису, и медведя, и волка.

Степа не смог читать дальше – ему представился голый Березовский с калькулятором в руке, озаренный прыгающим светом костра.

Отложив альманах, он принялся за журналы. Под их обложками догорал закат эпохи, которая представлялась современникам такой бесчеловечно жестокой и хищной, а была на самом деле такой наивной, жалкой и простодушной – как всегда в истории. Это трогало, но все равно журналы были неудобоваримы, как серая бумага, на которой их печатали. Почти на каждой странице в них упоминались какие то «эстеты» и «высоколобые интеллектуалы», которые презрительно морщились от чего то одного и восторженно аплодировали чему то другому. Степа вдруг понял (это было головокружительное умственное сальто), что собравшиеся в аудитории люди, похожие не то на рассредоточившуюся очередь за пивом, не то на участников спартакиады по зимним шахматам, и были теми эстетами и высоколобыми интеллектуалами, о которых шла речь.

«А ведь в эту самую минуту, – подумал он с эйфорией, которую вызывало в нем постижение тайн мироздания, – кто то сидит и волнуется – что же скажут эстеты и высоколобые интеллектуалы? Будут восторженно аплодировать или нет?»

Занятнее остальных ему показался журнал «Царь Навухогорлоносор». Как следовало из аннотации, это был «орган лингвистических нудистов, которые не признают лицемерных фиговых листков на прекрасном зверином теле русского языка». Журнал был малоинтересен, потому что его главным содержанием был мат, от обилия которого делалось скучно (хотя выражения вроде «отъебись от меня на три хуя» или «иди ты на хуй и там погибни» приятно удивляли, пробуждая надежду, что русский народ еще не сказал последнего слова в истории). Степа мат не любил и матерился только тогда, когда думал, что это полезно для бизнеса – как, например, в распечатанном таблоидами разговоре с «дядь Борей». Вокруг него тоже ругались мало.

Исключением, пожалуй, был только капитан Лебедкин. Но в речи джедая мат воспринимался как элемент репрессивной государственной атрибутики, что то вроде бряцанья служебной сабли.

В журнале были напечатаны отрывки из «современного эквивалента „Божественной комедии“ Данте – первого русского романа, написанного на народном языке» («Возле охуительного двухэтажного особняка, прятавшегося в тени старых лип, резко затормозил невъебенный „бугатти“ цвета маренго»). Роман Степу тоже не заинтересовал.

Все эти поиски жанра компенсировались тем, что на последних страницах журнала был напечатан тест, который не имел прямого отношения к прекрасному звериному телу. Ознакомившись с ним, Степа понял, до какой степени смутные и эфемерные издания однодневки ненавидят друг друга. Но тест был интересен и другим – похоже, он основывался на серьезном анализе работы человеческого мозга. Так следовало из вступления, где цитировалась научная работа:

«Как известно, базовым механизмом взаимодействия полушарий человеческого головного мозга является их функциональная асимметрия. Лауреат Нобелевской премии R. Sperry (1982) так обобщил результаты исследований функциональной асимметрии полушарий: „В каждом полушарии представлены свои функции. В левом – речь, письмо, счет. В правом – восприятие пространственных отношений и не идентифицируемое словами опознание. Каждое из полушарий имеет, по видимому, отдельное «самосознание». На этом и строится наш двухэтапный тест на проверку их функционирования“».

Оба этапа, для левого и правого полушарий, были основаны на сравнении пар фотографий. Сначала шел тест для левого полушария. Читателю нужно было сравнить два снимка, подписанные: «мужской половой член» и «огурец „мичуринский“» (они изображали именно то, что обещали подписи).

Предлагалось найти максимальное число различий между изображениями, начисляя себе пять очков за каждое. На обороте страницы был комментарий: «ваше левое полушарие работает нормально, если в сумме у вас получилось пять очков, так как отличие только одно – справа хуй, слева огурец».

Тест для правого полушария основывался на двух фотографиях, изображавших бутылку софтдринка и газету с голой бабой на обложке. Снимки были подписаны: «бутылка пепси колы и „альтернативный контркультурный англоязычный революционно антизападный таблоид «eXile»5, издающийся в Москве группой американских нонконформистов“».

Надо было повторить опыт. «Если в сумме у вас вышел ноль очков, – поясняла надпись на обороте страницы, – ваше правое полушарие тоже работает нормально, и вы способны к опознанию, которое не поддается словесной идентификации».

На этом тест не кончался. Следом предлагалось провести опыт по определению способности полушарий к взаимному замещению. Надо было разделить зрительное поле надвое, взяв лист плотной бумаги и поставив его перпендикулярно странице, так, чтобы правый глаз видел только правый снимок, а левый глаз – только левый. Посмотрев таким образом на фотографии десять секунд, надо было повернуть журнал на сто восемьдесят градусов и повторить опыт так, чтобы правый глаз видел только левый снимок, а левый глаз – только правый.

Сначала надо было проэкспериментировать с первой парой фотографий. Если испытуемому приходила в голову мысль: «огурец можно иногда использовать вместо хуя, но хуй никогда нельзя использовать вместо огурца», считалось, что его правое и левое полушарие способны полностью замешать друг друга.

Тест на взаимодействие полушарий заключался в том, что предлагалось повторить тот же опыт со второй парой снимков. Правое и левое полушарие тестируемого взаимодействовали между собой нормально, если в голову ему приходила мысль: «альтернативный контркультурный англоязычный революционно антизападный таблоид „eXile“ издается в Москве на деньги ЦРУ».

Пока Степа возился с тестом, роняя журнал на пол и шелестя на всю аудиторию вырванной из оранжевого альманаха страницей (в нем была самая плотная бумага), на него косились все присутствующие, а одна важная дама, похожая на снежную королеву в отставке, даже несколько раз кашлянула в кулак. Степа не сдавался, решив пройти испытание до конца.

Тест дал интересные результаты. Как оказалось, и правое, и левое полушария Степиного мозга не выполняли своих функций. Зато они были способны замещать друг друга примерно на пятьдесят процентов. А взаимодействовали между собой они просто отлично, хотя до этого Степа ничего не знал про газету «eXile».

Отзывы прошедших тест показали, что Степе не следует расстраиваться из за таких результатов. Полушария других людей взаимодействовали между собой куда более странными способами:

«Дело не в позорном листке „Хуйло молоХа“ (a.k.a. „eXile“), который все годы реформ объяснял заезжим педофилантропам, как надругаться над голодным русским тинейджером, угостив she or he эстонским „порошком горячих парней“. Дело в нынешней россиянской власти, которая давно проделывает то же самое со всем русским народом. Только вместо шприца у нее Останкинская телебашня. Малюта, PR технолог и русский интеллигент».

«Господа, не возьму в толк, для чего обижать издателей нонконформистов. Неужели вам не видно, что они искренне хотят создать что то непохожее на пепси колу в лаборатории своего коллективного разума? Если в их ретортах раз за разом получается кока кола, это не злой умысел с их стороны, а настоящая трагедия духа, ницшеанский сумрак, глумиться над которым так же позорно, как смеяться над катастрофами шаттлов. Татьяна Абакус, студентка филфака».

«Словосочетание „огурец «Мичуринский»“ искрится двойными, даже тройными аллюзиями. Но когда рядом появляется бутылка пепси колы, это, друзья, уже символическая тавтология. Переборчик с. Тариэл, Бирюлево Товарная».

«Деньги ЦРУ? А что же делать, если больше ни у кого их нет? ЦРУ не Талибан. Свои люди. Семенов, пограничник».

В надежде, что со второго раза полушария все таки начнут выполнять свои функции, Степа снова вооружился страницей, по которой полз куда то на черных лапках букв мелкий литературный недотыкомзер. Но повторить эксперимент не удалось.

Степа почувствовал, что в аудитории происходит что то не то. Стало тихо – Мюс больше не бубнила свою абракадабру про конструкты, парадигмы и дискурсы. Подняв глаза, он увидел, что она стоит возле кафедры и молча глядит на него. И все остальные, кто был в аудитории, тоже глядели на Степу. Он отложил свои бумажные инструменты и принял задумчивый вид, чтобы показать присутствующим, что ему глубоко интересен происходящий пир духа, и отвлекся он только на секунду. Но это не помогло. Мюс подхватила папку с текстом доклада, прошла через аудиторию, сняла куртку с крючка и вышла прочь.

Присутствующие начали бичевать Степу взглядами, но ему было не до них. Схватив пальто, он побежал вслед за Мюс. Когда он выскочил из аудитории, она была уже в самом конце коридора. Добравшись до поворота, Степа увидел, что Мюс исчезла.

Лежавший перед ним коридор напоминал мемориал советской науки – космические мозаики на стенах постепенно растворялись в густеющем мраке, а кончалось все черной дырой. Там, видимо, была лестничная клетка, где свет вообще не горел. Ответвлений у коридора не было. Мюс не могла так быстро добраться до лестницы, даже если бы бежала со всех ног. Это значило только одно – она была в какой то из аудиторий.

Он медленно пошел по коридору. Через несколько шагов он понял, в какой комнате прячется Мюс. Помогла в этом не открытая дверь – вокруг были и другие. Просто это стало ясно, и все, словно он поймал сигнал, который она послала ему своей антенной. Он вошел в аудиторию и прикрыл за собой дверь.

Мюс сидела у окна в бледном свете уличного фонаря и беззвучно плакала. Он подошел к ней и сел рядом. Она никак не отреагировала на его появление.

– Эй, – сказал он тихо, – ну зачем же так.

– Я думала, что тебе интересна эта тема, – ответила Мюс. – Я очень старалась. Вчера весь день репетировала. И вовсе не для них. Ты же сам постоянно об этом расспрашивал… Если бы я знала, я никогда, никогда не взяла бы тебя с собой.

Он неловко обнял ее за плечи. Мюс дернулась, как от удара током, но не отстранилась. Они оба поняли, что сейчас произойдет.

– Ты совсем не слушал, – сказала она жалобно. – А у меня здесь много нового материала… Другой парадигматический анекдот про рояль в форме кобуры… Не надо… И его кросс культурный анализ… Я же говорю, не надо… No always means no, you Russian swine!6… Пусти… Пусти же… Ах, Пикачу…

Мюс оказалась совсем не такой, как гламурные шлюшки. Она не воспринимала Степу в качестве клиента, которого следовало профессионально обслужить, начиная протяжно стонать после третьей фрикции. Она была настолько требовательна, что это сперва шокировало его, а потом наполнило забытым энтузиазмом. То, что к нему относятся как к источнику наслаждения, а не денег, настолько польстило его мужскому самолюбию, что он решился подвергнуть Мюс обычному тесту с неохотой, боясь неблагоприятного результата. Он даже специально облегчил его условия.

Степа повез Мюс на Бали. Это было уже после взрыва, отели пустовали, и вместо обычных шести номеров в списке было целых тридцать четыре. Но Мюс, услышав просьбу выбрать номер, даже не посмотрела в лист.

– Is number sixty six vacant?7 – спросила она.

Степа навострил уши. Он, разумеется, был не так прост, чтобы спросить Мюс о роли числа «66» в ее жизни. Если бы кто нибудь заговорил с ним о числах «34» или «43», Степа в ответ недоуменно пожал бы плечами или покрутил пальцем у виска. Было понятно, что и Мюс не станет распространяться о тайной бухгалтерии своей души. Но Степа запомнил это число, попутно позавидовав такому мудрому выбору. Мюс могла вообще не иметь ахиллесовой пяты – такой, как его «43». Это означало бы невозможное – свет без тени, добро без зла, радость без печали. Но Степа догадывался, что в такой ситуации могут быть свои сложности.

Первым делом он попытался выяснить все возможное о числе «66». Пошарив по интернету, он узнал, что в Библии 66 книг, в мире есть 66 видов зубастых китов, самый большой метеорит на Земле, найденный в Намибии, весит 66 тонн, и 66 процентов австралийских аборигенов живут в городах. Подобная информация расширяла кругозор, но имела мало практической ценности.

Тогда он начал экспериментировать, подстраивая Мюс мелкие ловушки. В ресторанах она предпочитала блюда, отмеченные двумя шестерками, – одна могла быть в номере, другая в цене. В длинном меню она нередко выбирала номер «66», даже если это были какие нибудь жареные тараканы с гарниром из одуванчиков или другая неудобоваримая экзотика. Но она никогда не говорила «принесите шестьдесят шестой номер», а всегда произносила название блюда. Это доказывало, что Мюс скрытничает. В номере ее мобильного было четыре шестерки; в номере ее «Гольфа» их было две. Однако три шестерки, похоже, казались ей дурным знаком.

Число «66» ничем не успело зарекомендовать себя в глазах Степы. Оно состояло в визуальном родстве с нулем, что делало его не до конца понятным. Кроме того, «66» приходилось родственником другому известному числу, «666». Иного это напугало бы, но Степа гораздо сильнее опасался числа «661», которое делилось на «43» без остатка.

Две шестерки упоминались Бингой, когда она говорила о числе зверя на руке его лунного брата. Но в нем было три цифры, он помнил это точно. В конце концов он одобрил число «66» – правда, с некоторым скрипом, но этот скрип означал, что проверка была серьезной и опасаться нечего.

На ощупь приближаясь к тайному нерву возлюбленной, он наткнулся на болевую точку случайно. Это произошло, когда он подарил ей изумрудные сережки с узором, похожим на знак рака. Степа купил их из за дивных камней, вставленных в голову каждому из зодиакальных головастиков. Мюс, выражавшая в таких случаях свою радость довольно шумно, побледнела, как только открыла коробочку.

– Что такое? – спросил Степа.

– Так, – ответила она, – закружилась голова.

Человек с другими жизненными ориентирами мог бы предположить, что дело в неверно выбранном знаке зодиака, но у Степы что то щелкнуло в мозгу, и он понял, что Мюс боится числа «69»: знак рака выглядел в точности как его зеркальное отражение.

Через пару недель он пригласил Мюс на встречу с индийским духовным учителем Свами Маканандой, гостившим в Москве. Не то чтобы к махатме были какие то вопросы, просто к нему ломился весь город, а Степа мог купить место в очереди.

Встреча произошла в номере «Мариота». Свами Макананда был похож на пожилой просветленный баклажан. Поджав босые ноги, он сидел на диване и, пока Мюс мрачно листала дамские журналы, объяснял почтительному Степе систему упражнений, целью которых было полное раскрытие Аджня чакры, психического центра, расположенного между бровей. Услышав, что у этого центра имеется девяносто шесть лепестков, Мюс нахмурилась и уронила журнал на прозрачный столик.

На обратном пути он решился спросить Мюс, отчего она проявляла такие явные признаки раздражения во время беседы. Мюс нахмурилась.

– Ну Степ, – сказала она, – ты сам подумай, что он говорит. Если раскрыть эту чакру, то можно, во первых, оставаться вечно молодым, а во вторых, мумифицировать свое тело после смерти, чтобы оно могло храниться тысячу лет. Я не пойму – если ты можешь оставаться вечно молодым, зачем тебе мумифицировать свое тело после смерти? И потом, что это за имя – Макананда? Или эти журналы на столике – как в парикмахерской. Какой то макдональдс духа. You know, I hate spiritual fast food8.

Теперь Степа знал, что Мюс боится не только числа «69», но и числа «96». Кажущаяся защищенность от темной стороны чисел обернулась удвоенной уязвимостью.

Что касалось перевернутого «66» – числа «99» – то к нему Мюс, похоже, была равнодушна. Степа проверил это во время благотворительной акции по уходу от налогов под названием «99 детей Нечерноземья», которую Мюс помогла организовать. Ни позитивной, ни негативной реакции он не засек. Это радовало. Будь у Мюс проблема с числом «99», витрина любого магазина, где идет распродажа, ввергала бы ее в депрессию. Шагать по жизни рядом с таким уязвимым человеком означало бы сделаться уязвимым самому.

Мюс была удивительно многомерным существом. Помимо коробок с собранием городского фольклора на перфорированных карточках, она украсила Степину дачу множеством картинок с покемонами, симпатичными магическими зверьками.

Степа давно привык, что его называют «Пикачу» из за необыкновенного внешнего сходства с одним из них. Но он не знал, что слово «покемон» происходит от «pocket monstaa», японской транскрипции английского «карманный монстр». Его расстроила такая издевательская игра слов («карманный банк» – «карманный монстр»), но на приколы судьбы обижаться было глупо.

Страсть к покемонам у Мюс была нешуточной. Но она лежала очень близко к ядру ее identity и раскрывалась только при интимном знакомстве. Это делало Мюс невероятно сексапильной, добавляя в волшебный коктейль ее свойств что то от запретной прелести нимфеток.

– Запомни, – говорил Степа, сжимая ее в руках и думая о том, что выражение feline grace нельзя перевести на русский, поскольку «кошачья грация» заставляет задуматься о седенькой покровительнице пятнадцати кошек, а вовсе не о хищной кошачьей красоте, – запомни, пожалуйста, Мюс. Я не покемон. Я покебан. И никогда не путай. Понятно?

– Пикачу, – шептала Мюс и проводила острыми коготками по его груди, – Пикачу… Мюс знала, что когда нибудь тебя встретит…

Несмотря на очарование игры, желание Мюс видеть в нем Пикачу порой бывало обременительным. По ее упорной мысли, он должен был больше всего на свете любить жареные орешки, и ему иногда приходилось съесть целый пакет фисташек перед тем, как Мюс подпускала его на расстояние вытянутой руки (если она не хотела, она начинала так больно царапаться, что Степа неизменно отступал). Степа же не особо любил орехи, которые были ему вредны из за полноты. К счастью, Мюс допускала альтернативный вариант – ягоды. Вместо пакета фисташек можно было откупиться половиной упаковки клюквы «Ocean Spray», и, хоть она была очень кислой, процедура завораживала, потому что Мюс разрешала есть ягоды прямо из теплых ложбинок своего тела:

– My hungry little beast… No, you can't do that! You shameless little pig!9

Кроме того, Мюс требовала, чтобы любая кровать, на которой они спят, была привязана проволокой к батарее, и его «excessive electricity» уходило в землю. Степа не понимал, что это за «избыточное электричество», но предполагал, что оно как то связано с ролью, которую Мюс заставляла его играть.

Лень мешала ему выяснить, каким должен быть образцовый Пикачу. Он совершенно не интересовался покемонами, посмеивался над происходящим и считал его невинным рецидивом младенчества, чем то вроде привычки играть в куклы, которая сохраняется даже у некоторых мам, пока Мюс не объяснила, насколько все глубже. Объяснение последовало за одной из нотаций, которые Мюс любила читать ему в кровати, пока они набирались сил для следующей прогулки в рай. Началось все со спора о группе «Тату».

– Запомни, свинка, – сказала Мюс, – чтобы ты никогда больше не смел так выражаться! I was born in a gay and lesbian family10, это как у вас раньше было рабоче крестьянское происхождение, и если ты еще раз скажешь при мне слово «ковырялки», я уйду от тебя навсегда… Понял?

Степа испуганно кивнул – он уже жалел, что необдуманные слова сорвались у него с губ.

– Вы вообще не понимаете, что такое терпимость к чужому образу жизни. Тем более что такое moral tolerance. Погляди на эту демонстрацию, – Мюс кивнула на телевизор, передававший новости BBC, в которых мелькнул поп дуэт. – Наше общество стремится обеспечить потребителю не только дешевый бензин, но и моральное удовлетворение от протеста против метода, которым он добывается. В эфире постоянно идут раскаленные теледебаты, где происходит срывание масок с разных всем известных фарисеев, и так каждую войну. И все спокойно живут рядом. А у вас все стараются перегрызть друг другу глотку. И при этом ни теледебатов, ни протеста, так, дождик за окном. Потому что общество недоразвитое, understand?11 Просто какое то убожество. Вот почему вы не выражаете протест против Чечни?

Степа вспомнил Мусу с Исой.

«Ну да, – подумал он, – попробуй вырази, когда один на кокаине, а другой на героине. Такие качели будут, что мало не покажется. Если б не джедаи, так и банка, наверно, уже не было бы».

– Почему? – повторила Мюс. – Ведь самим потом будет интереснее телевизор смотреть!

– Так, – мрачно ответил Степа. – Свиньи потому что.

– Вот именно. А еще говорите про какую то духовность. Это еще ладно. Вы, русские, при этом постоянно твердите про бездуховность Запада. Про его оголтелый материализм, and so on. Но это просто от примитивного убожества вашей внутренней жизни. Точно так же какой нибудь Afro African из экваториальных джунглей мог бы решить, что Ватикан совершенно бездуховное место, потому что там никто не мажет себе лоб кровью белого петуха.

– Я никогда ничего не говорил про бездуховность Запада, – попробовал Степа уклониться от коллективной русской вины. Но Мюс не обратила на его слова внимания.

– Вас только что выпустили из темной вонючей казармы, и вы ослепли, как кроты на солнце. You totally miss the point12. Секрет капиталистической одухотворенности заключен в искусстве потреблять образ себя.

– Че чего? – спросил Степа.

– Ты, наверно, думаешь, что я покемон, потому что я – инфантильная дурочка, которая никак не может забыть свое детство? Don't even hope…13

Чем сильнее Мюс возбуждалась, тем больше она начинала употреблять английских слов.

– Все наоборот. Инфантильный дурачок – это ты. За исключением тех редких минут, когда я помогаю тебе побыть Пикачу, ты просто дикарь и nonentity14, understand, нет?

– Нет, – сказал Степа. – Можно яснее?

– В цивилизованном мире человек должен поддерживать общество, в котором живет. Интенсивность потребления сегодня есть главная мера служения социуму, а значит, и ближнему. Это показатель… Как это по русски… social engagement15. Но в постиндустриальную эпоху главным становится не потребление материальных предметов, а потребление образов, поскольку образы обладают гораздо большей капиталоемкостью. Поэтому мы на Западе берем на себя негласное обязательство потреблять образы себя, свои consumer identities, которые общество разрабатывает через специальные институты. Понимаешь?

– Нет, – честно признался Степа.

Мюс несколько секунд щелкала пальцами, подыскивая слова.

– Вспомни свой накрученный и навороченный «Геландеваген», – нашлась она.

– Какой «Геландеваген»? Я что, полковник ГАИ? – обиделся Степа. – У меня спецбрабус, пора бы привыкнуть.

– Ага! Вот видишь? Ты ведь потребляешь не его. Ты потребляешь образ себя, ездящего на нем…

Только тут Степа понял, что она хотела сказать. Она была права. Как всегда, он чувствовал что то подобное, но не мог облечь в слова.

– Но это, извини, уровень spiritual mediocrity, – продолжала Мюс. – Это потребление образов, связанных с материальными предметами. Если вы, русские, хотите когда нибудь по настоящему влиться в великую западную цивилизацию, вы должны пойти гораздо дальше. Ты спросишь, как это сделать? Посмотри на меня. Посмотри на мир вокруг. Послушай, что он тебе шепчет… Я – покемон Мюс. Только что с тобой говорил по телефону твой друг Лебедкин – он джедай. А из телевизора нам улыбается Тони Блэр – он премьер министр. В эту секунду в мире нет ни одной щели, ни одного изъяна. Но ты? Могу я верить тебе до конца? Настоящий ли ты Пикачу? Или это просто маска, муляж, за которым пустота и древний русский хаос? Кто ты на самом деле?

В Степе дрогнул ответ. Но, досчитав до тридцати четырех, он решил на всякий случай промолчать. Вместо этого он приподнялся на локте и потянул на себя одеяло, под которым пряталась его подруга.

29

Степа был счастлив с Мюс. Как только ее фольклорный грант кончился, он взял ее на ставку, придумав для нее должность «первый референт с правом финансовой подписи». Это, как заметил бы покемон аналитик, было весьма прозрачным символом: Пикачу давал подержаться за свой большой толстый «Mont Blanc» и даже доверял выпустить из него струйку жидкости.

Оказалось, что знакомство с современным городским фольклором – лучшая школа бизнеса. Мюс хорошо понимала, что требуется от бизнесмена в России – быть немного вором, немного юристом и немного светским человеком. У нее была прекрасная деловая хватка, и ей можно было доверить любую работу.

Банк работал как часы. На память о чеченской крыше остался только подарок Мусы – сделанная из крупнокалиберного патрона настольная зажигалка с выгравированной сурой из Корана. Все в Степиной жизни, казалось, было устроено для счастья.

Кроме одного.

Ему исполнилось сорок два года. А следом, как подсказывала логика, должно было исполниться сорок три.

Чем ближе становилась страшная дата, тем чаще Степа вспоминал слова Бинги, пытаясь найти в них смысл, пропущенный прежде. Постепенно в его уме созрел план, который, как казалось, способен был решить его проблемы. План был лукавым и казуистическим. Но мог и сработать.

Бинга ничего не говорила ни про «43», ни про «34». Она говорила только про лунное и солнечное числа. И ужас, который она напророчила, должен был начаться тогда, когда Степе исполнится лунное число лет.

Болгарская ясновидящая сказала:

«Солнечное число может быть любым. И лунное тоже. Дело не в числах, а совсем в другом».

В чем дело, она не объяснила. Но это, предполагал Степа, могли быть сила воли, решимость, бесстрашие – или что нибудь вроде того. А если, думал он, проявить эти качества, и на год подменить числа силы другой парой, лишив «43» лунного статуса, а значит, и возможности вредить? А потом тихо вернуться в лоно старой веры… Эта мысль была заманчива до головокружения.

И Степа решился. Дождавшись момента, когда в делах наступило затишье и никаких серьезных операций не предвиделось, он совершил простой ритуал, который, однако, заставил его сердце биться так, как если бы это была черная месса. Записав числа от одного до девяносто девяти на кусочках бумаги, он кинул их в пустую сахарницу. Повернув лицо к люстре, он умоляюще сказал:

– На время, только на время, клянусь!

Вселенная промолчала, и Степа вытянул жребий. Выпало «29». Лунным числом, соответственно, оказалось «92». В новом числе семерка тоже присутствовала – как разность входящих в него цифр. Степа перевел дух. Похоже, это был знак.

Он начал жить по новому. Внешне все оставалось прежним, но выстроенные вокруг числа «34» ритуалы и священнодействия, из которых складывалась его жизнь, уступили место новым, обращенным к числу «29». Первые несколько дней, прожитых по новым правилам, были

наполнены ужасом, смешанным с эйфорией, – словно в Степину душу мелкими дозами поступало то чувство, с которым самоубийца оптимист шагает из окна в лучший мир.

Все вокруг было непредсказуемым и новым. Выходя в зимний сад пить кофе, он подозрительно оглядывался по сторонам, словно ожидая удара молнии возмездия. В саду играла тихая музыка – Филип Гласс, любимый Степин композитор. Опера «Эхнатон», посвященная египетскому фараону реформатору, который сверг старых богов и провозгласил нового, казалась Степе историей про него самого. Тем более что, помимо личного бесстрашия, необходимого для радикальных духовных разворотов, были и культурные параллели: Эхнатон поклонялся солнечному диску, а Степа руководил «Sun банком».

Катастрофа произошла, когда Степа уже решил, что эксперимент удался. Однажды, доедая за завтраком тост с клубничным джемом (теперь он совершал двадцать девять движений челюстями вместо тридцати четырех, отчего казалось, что пища попадает в желудок недожеванной), Степа протянул к хрустальной розетке вилку, и вдруг увидел, что она означает не «34», как это было всегда, а «43».

– Что случилось? – испуганно спросила сидевшая напротив Мюс.

Трудно было сказать, что именно произошло. Даже не трудно, а невозможно, потому что на самом деле не случилось ничего – у вилки были те же четыре зубца, под которыми начиналась ручка с серебряными завитками в виде морских волн. Но первым, что бросалось в глаза, были зубцы. И только потом внимание перемещалось на три просвета между ними. Было непонятно, как Степа вообще мог когда то видеть в этом сочетании выступов и пустот число «34». Если бы «43» было вырублено перед ним на дубовых досках стола раскаленным топором, даже тогда оно не было бы таким отчетливым.

Степа понял, что такое небесная кара. Теперь он лучше любого египтолога представлял, какая сила заставила египтян бросить построенную в пустыне столицу вместе с солнечным культом и вернуться к прежним богам, умоляя их о прощении. Этот же древний ужас проглотил его душу, и Степа первый раз в жизни осознал, как ничтожен человек перед лицом невидимых надмирных сил, с которыми он шутит и играет, как идиот с высоковольтными проводами.

Степа чувствовал, что искупить вину будет трудно – но другого пути не было. Он начал с того, что отбил тридцать четыре раза по тридцать четыре поклона. С непривычки на это ушло почти два дня – боль в коленях заставляла делать долгие паузы. Затем в ход пошли другие ритуалы, как бы вернувшие его в детство, – он чувствовал, что чем наивнее и чистосердечнее будут его поступки, тем легче отпустят ему грехи силы, перед которыми он провинился. Он дал клятву, что никогда, никогда больше не изменит числу, выбранному раз и на всю жизнь, что бы ни принес ему надвигающийся день рождения. В его душе происходило что то похожее на реставрацию опрометчиво скинутой монархии. Слава богу, монарх был еще жив – и после недельного покаяния Степа понял, что прощен.

Но в его душе появилась новая стигма – рядом с ненавистным «43» зажглось другое проклятое число – «29». Против него теперь было два числа, а за него – одно. И винить в этом было некого.

Степа принял экстренные меры. Во первых, он установил на участке перед своей дачей уменьшенную в два раза копию танка «Т 34», купленную в захиревшем музее боевой славы. Танк выглядел грозно, и Степа рядом с ним чувствовал себя спокойнее. Затем он вспомнил, что лучшая оборона – это наступление, и перешел в атаку. Несколько дней он расстреливал из охотничьего ружья тарелки, помеченные числами «29» и «43», и хохотал, когда заряд дроби разносил в пыль очередной диск, косо летящий над кромкой леса. Часть его гнева приняли на себя кефирные пакеты, датированные числом «29» – они, бывало, подолгу хранились в холодильнике, безобразно распухали, словно в них действительно вселялся дух зла, и лопались под Степиным свинцом как гнойные бомбы.

Затребовав к себе в кабинет личные дела сотрудников, Степа провел над ними несколько дней и без объяснения причин уволил часть персонала. Ничего общего между уволенными не было – кроме того, что все они были отмечены каким нибудь из чисел зла: кто то жил в доме номер 29, кто то на станции «Сорок третий километр», другие имели родителей 1943 или 1929 года рождения, и так далее. Никто из них не понял, в чем дело.

Постепенно к Степе вернулась уверенность в себе и спокойствие. Он знал, что может выбирать повороты жизненного пути, отмеченные прежним знаком, и все будет хорошо, если он сам не совершит какой нибудь глупости. Откуда он это знал, сказать было трудно – все опиралось на таинственное мистическое чувство, присутствие которого он стал хорошо ощущать после того, как оно на время покинуло его из за проклятого эксперимента.

Однако эта история оставила одну рану, исцелиться от которой он не смог. Вилка, которая раньше благословляла каждый отправляемый в рот кусок пищи, стала отравлять его своим невидимым проклятием. Он стал хуже выглядеть, появились проблемы с пищеварением. Иногда начинались беспричинные тошнота и понос – беспричинные, по мнению медиков, сам же Степа причину знал. Слушая доктора, гадающего, где и чем он мог отравиться, Степа чувствовал, что мог бы многое рассказать о том, как действует самый страшный на земле яд – ум.

Мюс видела, что с ее Пикачу творится что то нехорошее, но не могла понять, в чем дело. По ее настоянию Степа поехал на обследование в Германию. В результате он разуверился в медицинской науке: он понял, что разница между дешевым русским доктором, недоуменно разводящим руками, и дорогим немецким, делающим то же самое, заключается в том, что немецкий доктор может перед этим послать говно пациента в специальной двойной баночке авиапочтой в другой город, а затем получить оттуда сложную диаграмму на пяти страницах с какими то красно зелеными индикационными полосками, цифрами, стрелками и восклицательными знаками. Разница в деньгах уходила на оплату труда людей, занятых в производстве этого глянцевого высокотехнологичного продукта, а само движение докторских рук было одинаковым. К тому же в обоих случаях речь шла о самых лучших докторах, поскольку они недоуменно разводили руками вместо того, чтобы назначить курс каких нибудь губительных процедур.

Степа нашел выход сам. Возвращаясь в гостиницу после визита к врачу, он зашел в русский ресторанчик «Сакура» на Курфюрстендам (раньше он обедал в экзотическом армянском погребке «Donskoj Kazachok Rebroff» на Вестфалишер Штрассе, а тут захотелось простого московского сашими). Кивнув, как знакомым, трем берлинским браткам, он устроился в уголке для некурящих

и сделал заказ. Когда перед ним поставили деревянный эшафотик с расчлененной туной, он немного подумал, отодвинул вилку с ножом, и первый раз в жизни взял в руки палочки.

Оказалось, что это несложно – все получилось с первого раза. За едой он раздумывал о символизме происходящего. Палочки могли означать «11» или римское «II». Это, конечно, не было «34», но это не было и «43». После обеда Степа ощутил беспричинную эйфорию, какой не чувствовал уже давно. Официантка получила на чай сто евро.

Степа съел гостиничный ужин принесенными из ресторана палочками, а ночью ему в первый раз за много лет приснилось, что он куда то летит невысоко над землей. На следующий день он поехал в антикварный магазин и купил сразу несколько китайских столовых наборов.

Среди них оказались палочки из слоновой кости, выточенные в начале века в Шанхае. Они становились приятно гибкими, полежав в воде. Их покрывала тонкая раскрашенная резьба: каждую украшало 34 цветка сливы (так, во всяком случае, можно было сосчитать, принимая за скрытые цветки семь лепестков на заднем плане). Палочки хранились в резном футляре из красного дерева, который был настоящим произведением искусства.

Прошло всего несколько дней питания по новому, и недомогание, поставившее в тупик столько докторов, исчезло само. Мюс была счастлива.

– Я же говорила, you just needed a good doctor16. Глупый смешной Пикачу…

Мюс думала, что все прошло. Она не знала, что после «катастрофы 29» (так Степа называл про себя неудачный эксперимент) ему приходилось вести себя в два раза осмотрительнее. Степа никогда не садился в машину, в номере которой были двойка и девятка рядом. А двадцать девятое число стало для него опасной датой – у Степы было чувство, что мировое зло, бессильное пробить его защитные поля, доходило в это время до пика могущества и делалось способным ужалить. В этот день он не выходил из комнаты, почти ничего не ел и не снимал телефонную трубку.

Сотрудники банка и партнеры по бизнесу, которые научились уважать Степу за его непостижимую интуицию, почувствовали вызванную «катастрофой 29» перемену в его подходе к делам. Степа стал осторожнее, хотя никакой ясной логики в его решениях по прежнему не прослеживалось. Многие связали это с мировым фондовым кризисом и еще с тем, что у Степы появились новые источники инсайдерской информации. Но люди, которые пытались копировать Степины действия, попадали впросак. Это было неудивительно. Например, покупая и сбрасывая акции, он руководствовался не диаграммами роста и предсказаниями аналитиков, а тем, что в цифровых последовательностях на экране компьютера возникали числа «43», «29» и, конечно, «34» – причем ему было совершенно не важно, до запятой или после. Брокер часто бывал в шоке от его распоряжений. Но тем сильнее уважал Степу, видя их результат.

Меняя какую то одну привычку, человек часто не осознает, что расстается с привычным укладом жизни. Начав есть палочками, Степа почувствовал, что будет смотреться гораздо уместнее, если станет приверженцем азиатской кухни. Это оказалось несложно – она ему, в общем, нравилась. Став адептом темпуры и супа из акульих плавников, Степа понял, что эту трансформацию было бы в самый раз запить хорошим чаем. Он начал пить зеленый чай, с которого перешел сначала на белый, а потом на улун.

Чай приносили из расположенной на территории парка Горького конторы со странным названием «ГКЧП». Этими буквами, стилизованными под китайские иероглифы, был украшен каждый пакетик с «Железной Гуанинь» или «Большим Красным Халатом», его любимыми сортами. Пакетики украшал золотой иероглиф «Путь», и рядом с ним грозный четырехбуквенник воспринимался как конкретизация расплывчатого философского понятия.

Когда Степа спросил, что все это значит, ему объяснили, что сокращение расшифровывается как «Городской клуб чайных перемен». Название было интригующим и подвигало на дальнейшие расспросы. Так состоялось Степино знакомство с гадателем Простиславом, который был в клубе за главного консультанта и духовного учителя.

Внешне Простислав напоминал Кощея Бессмертного, переживающего кризис среднего возраста. Все в нем выдавало осведомителя ФСБ – восемь триграмм на засаленной шапочке, нефритовый дракон на впалой груди, расшитые фениксами штаны из синего шелка и три шара из дымчатого хрусталя, которые он с удивительной ловкостью крутил на ладони таким образом, что они катались по кругу, совсем не касаясь друг друга. Когда он взял в руки гитару и, отводя глаза, запел казацкую песню «Ой не вечер», Степа укрепился в своем подозрении. А когда Простислав предложил принять ЛСД, отпали последние сомнения.

Уверенность была полной и до такой степени иррациональной, что Степа долго не мог понять, откуда она. Ответ появился, когда Степа позвонил Простиславу сразу после разговора с Лебедкиным. Простислав смеялся совсем как Лебедкин, только останавливался за секунду до момента, когда в смехе капитана прорезалось что то ледяное и жуткое, – так, что на это слышался только намек. Тем не менее сходство было настолько явным, что Степа с самого начала смотрел на Простислава умудренными жизнью глазами.

Степа никогда не боялся людей этой ориентации, потому что не имел порочных привычек, на которых они могли бы сыграть. Наоборот, он старался чаще бывать в их обществе, чтобы власть как можно большим количеством глазенок видела, что ему нечего скрывать. Поэтому он продолжал встречаться с Простиславом, и между ними вскоре установилось что то вроде дружбы, которая очень шла к Степиной привычке есть палочками.

У Простислава была самая большая в Москве коллекция буддийского порно, «стрэйт» и «гей». Оно отличалось от стандартного тем, что все действие происходило в горящем доме, который символизировал недолговечную земную юдоль. Метафора трогала Степу, однако в фильмах к ней подходили довольно формально: партнеры елозили друг по другу на фоне пылающего комода или созревшего для свалки дивана, дававшего вместо огня скудный серый дым. А то и вообще все ограничивалось групповухой на фоне коптящей промасленной простыни, растянутой на сушилке для белья. Степе как раз хотелось, чтобы духовности в этих фильмах было больше, а хлюпа

меньше, но их создатели, видимо, стремились занять рыночную нишу самым экономным способом.

Имелось у Простислава и более традиционное порно, которое не стыдно было посмотреть утонченному и культурному человеку. Например, стильная экранизация «Ромео и Джульетты», где Джульетта приходила в себя в склепе сразу после того, как Ромео выпивал яд над ее неподвижным телом. У героев оставалось всего сорок минут времени, но уж его то они использовали по полной, не теряя ни секунды на сентиментальную болтовню. А другой фильм начинался так: камера показывала сидящую на дощатом полу ящерицу, затем долетало девять далеких ударов колокола… На то, что начиналось вслед за этим, глаза смотрели уже совсем иначе.

Простислав познакомил Степу с «Книгой Перемен». Степу не волновали эзотерические глубины этого текста, о которых Простислав постоянно толковал. Интересно было другое. Оказалось, что числам от одного до шестидесяти четырех соответствуют гексаграммы, состоящие из непрерывных мужских и прерывающихся женских линий. Каждая из них описывала ситуацию, в которой может оказаться человек. Услышав это, Степе понадобилось напрячь волю, чтобы сразу не заговорить о главном.

Выжидать случая пришлось долго. Сначала Степа гадал вместе с Простиславом. Нужные номера никак не желали появляться. Скоро Степа научился составлять гексаграммы сам. Способ гадания, в котором использовались стебли тысячелистника, показался ему слишком муторным. В нем было что то безнадежное, напоминающее о принудительных сельхозработах в Северной Корее – нужно было сидеть на полу и долго долго сортировать пучок черных высохших стеблей. За это время Степу посещали мысли о голоде, неурожае, тяжести крестьянского труда, об особом пути России, и так далее. Кроме того, начинали сильно болеть ноги.

К счастью, существовал другой способ – его изобрели современники Конфуция и Лао Цзы, решившие приспособить архаический оракул к убыстряющемуся темпу жизни. В нем использовались три монеты, которые надо было кидать вместе шесть раз, по числу линий в гексаграмме. Степа стал пользоваться этим методом, и каждый раз после гадания вез полученный результат в ГКЧП. Клуб представлял собой лабиринт закопченных благовониями темных комнаток с такими низкими дверями, что приходилось передвигаться скрючившись, в постоянном полупоклоне то ли комитету госбезопасности, то ли небесным наставникам из даосского пантеона, и эта процедура смиряла и исцеляла разуверившуюся в святынях душу.

Чтобы в ФСБ не догадались, на чем держится его тайный мир, Степа не стал выспрашивать у Простислава, какие гексаграммы имеют номера «29», «34» и «43», и честно гадал по любому поводу, дожидаясь дня, когда числа сами выйдут ему навстречу, чтобы открыть свои древние лица.

Сначала «Книга Перемен» пожелала разъяснить Степе число «29». Когда он принес очередную гексаграмму в ГКЧП, Простислав покачал головой и надолго замолчал.

– Дело то серьезное? – спросил он наконец.

– А что? – переспросил Степа.

– Да то, – скрипуче ответил Простислав, – что хуже ентого самого только она же сама, родимая, и есть. Номер двадцать девять – «Повторная опасность».

С трудом выцеживая смысл из его слов, Степа выяснил следующее: номер «29» был символом удвоенной опасности – пропастью внутри пропасти. Смысл этой ситуации отлично выражала поговорка «Лиха беда – начало». Внутри одной проблемы была скрыта другая, за ужасом таился ужас, и, кроме скудного тюремного рациона, ожидать было нечего. Гексаграмма была симметричной и изображала как бы два клыка в зияющей пасти – они были обозначены двумя сильными линиями среди четырех слабых. Увернуться было невозможно, и оставалось только ждать, питаясь слабой надеждой, что судьба подбросит веревку, по которой удастся выбраться из бездны. Две слабые черты в центре напоминали поток, текущий между Сциллой и Харибдой, – можно было проскочить, а можно было и не успеть. Словом, если бы кто нибудь попросил Степу изложить все мрачные ассоциации, которые после известного опыта вызывало у него число «29», вышло бы очень похоже.

Гексаграмма за номером «43», которая появилась через несколько дней после этого, называлась «Прорыв». Простислав охарактеризовал ее коротко:

– Фильтруйте базарчик!

Степа понял четко: сорок третья позиция подразумевала, что надо помалкивать. А если уж человек открывал рот, говорить ему следовало строго по делу, не отвлекаясь на риторические фигуры, за которые можно было ответить. Все остальное, о чем толковал Простислав, – дождь, под который попадает одинокий путник, ночное применение оружия и так далее – было таинственным и напоминало волшебную китайскую сказку о бесах и студентах. Степа все брал на заметку, но ничего не понимал, пока не услышал сжатого объяснения всей гексаграммы.

– Короче, так. Здесь у нас пять сильных линий снизу и одна слабенькая сверху. То есть снизу как бы сильно пучит и распирает, а сверху уже начинает от такой силищи понемногу и расступаться. В общем, типичный перитонит от бараньего супчика со шпинатом. Прорыв, одним словом.

Этот образ показался Степе очень доходчивым – слово «перитонит» вполне соответствовало тому, что он ожидал услышать про этот номер.

«34» появилось не скоро, после долгой возни со всякими «Стиснутыми зубами», «Разладами» и «Войсками». Заветное число словно испытывало Степину верность – и решилось вознаградить его, только когда сомнений в ней не осталось.

– У, тридцать четвертая, – проблеял Простислав. – Во мощща то прет. Пруха, одним словом. «Мощь великого». Значится, собрались вокруг тебя, грешного, темные силы, и говорят: «Ну ты, козел!» А ты им: «Кто козел? Да вы все сами козлы, поняли, нет? Сейчас вы мне тут реально за козла ответите!» И темные силы встают раком и реально отвечают, с первой по шестую позицию. Только рога им отрывать надо осторожненько, чтобы не застрять на третьей черте, она всегда кризисная. В общем, гуляй Вася. Благоприятна стойкость – это и понятно, оно хорошо, ежели стоит. Особливо когда он у тебя как тележная ось, хе хе…

Знакомство с «Книгой перемен» потрясло Степу. Оказалось, что тайный смысл чисел, знание которого он полагал своей привилегией, был известен китайцам древности ничуть не хуже. Какое там. Степа, изучивший только три числа, не смог бы ничего добавить к тому их описанию, которое встретил. А в «Книге перемен» таких чисел было шестьдесят четыре!

Степа чувствовал себя ужасно, словно кто то распахнул настежь все его тайные дверцы. Ему даже приснилось, что он стоит голый перед глазеющей на него толпой. Но вскоре его настроение изменилось. Он понял, что тайна по прежнему оставалась тайной. Из за принятых мер предосторожности он мог быть уверен, что в ФСБ по прежнему ничего не знают. А совпадение того, что было ему известно про числа «29», «43» и «34» с тем, что говорила о них «Книга перемен», было хорошим знаком: он сам, в одиночестве, сумел расшифровать часть тайного уравнения Вселенной.

Его знание не было шизофренией. Оно было объективным, общедоступным и поддавалось проверке. Но это вовсе не значило, что он разжалован в рядовые люди. Было одно отличие между ним и любым другим читателем «Книги перемен». Степа не просто знал свойства числа «34», а еще и находился с ним в особых отношениях с самого детства. Именно это и было его самым главным секретом.
100

Лунный день рождения приближался, и Степа думал о том, как ему быть. Он вспоминал слова Бинги:

«Все будет зависеть от того, сможешь ли ты помочь своему числу… Если в это тяжелое время ты сумеешь сделать так, что солнечное число станет сильнее лунного, ты победишь».

Бинга не сказала ни слова о том, как этого добиться. Сказала только, что за числом надо ухаживать, словно это растущая в пустыне роза. Именно эти слова и навели Степу на мысль о Мюс – потому что в некотором роде она и была розой, растущей в пустыне его жизни. Если за солнечным числом надо было ухаживать, как за ней, это означало только одно…

Когда он первый раз решился проделать свой магический ритуал с ее помощью (вернее, с помощью ее тела), Мюс не обратила на это внимания. Когда он вступил в связь с числом «34» во второй раз, Мюс тоже не возразила против своего использования в качестве медиума. Но когда он в третий раз ткнулся локтями в очаровательную ложбинку под ее позвоночником, она не выдержала:

– What the hell is this?17

– А что? – невинно спросил Степа.

– Ты как Саддам Хусейн. Cooperating on the procedure, but not on substance18. Зачем ты каждый раз слазишь на пол?

Степа меньше всего на свете хотел пускаться в объяснения – тогда объяснять пришлось бы абсолютно все, а это не входило в его планы.

– Пикачу играет, – сказал он довольно сухо.

– Это я понимаю, – ответила Мюс, глядя на него своими огромными глазами, которые, как Степе иногда казалось, светились в темноте. – Я не понимаю, во что играет Пикачу!

– В Пикачу.

– А разве Пикачу такой? – недоверчиво спросила Мюс.

– Да, – с достоинством ответил Степа. – Такой вот Пикачу.

Степа вышел из положения так элегантно, потому что знал – у самой Мюс были причуды интимного толка, связанные с числом «66», о которых она ничего ему не говорила. Например, проследив связь между зодиакальным знаком рака и числом «69», он догадался, почему некоторые позиции казались его подруге непривлекательными, и любая попытка подвести к ним действие вызывала у нее раздражение. Понимание скрытых пружин чужого либидо давало Степе ощущение всемогущества. Но он долго не мог понять, почему Мюс каждый раз настаивает, чтобы они ложились ногами к окну.

Ясность появилась после того, как он тайно проконсультировался с дорогим аналитиком (Степа уважал психоанализ, считая его чем то вроде рыночной экономики души). Аналитик принимал, сидя на велотренажере, и был похож на старого мудрого козла, из милосердия говорящего людям только часть страшной правды. Выяснилось, что все просто – направление, откуда приходил свет, транслировалось в подсознании Мюс как «верх». Чтобы ощутить себя частью числа «66», а не «99», ей необходимо было, чтобы к источнику света были обращены именно ноги. Этим же объяснялась, как Степа догадался сам, и ее любовь к модному развлечению, прыжкам со специальной вышки на резиновом канате, прикрепленном к ногам (сам он ни разу не отважился на такое, хотя Мюс много раз пыталась уговорить его прыгнуть, – ему мерещилось в этом занятии что то жуткое, имеющее равное отношение к сексу и к смерти).

По всем этим причинам Степа приступил к плану Маршалла для числа «34» с уверенностью в своем моральном праве на это таинство. Всего он планировал провести тридцать четыре сеанса энергетической связи. После его короткого, но самоуверенного объяснения Мюс стала относиться к происходящему терпеливо и больше не проявляла никаких признаков раздражения, словно все Пикачу в ее жизни на каком то этапе отношений начинали проделывать то же самое.

– Пикачу меня проверяет, – шептала она. – Глупый Пикачу!

Иногда она пробовала принять участие в Степиной мистерии – заводила руку назад, ловила локоть, упертый в ее копчик, и начинала успокаивающе гладить его, словно помогая содрогающемуся Степе расслабиться и прийти в себя. Степе не особо нравились эти попытки. Ему было приятно прикосновение Мюс, но он боялся, что из за него может нарушиться связь с сакральным числом. Отчего то приходила на ум история Самсона, потерявшего свою силу после

того, как Далила обрила ему голову, и, хоть ничего похожего на бритье головы не прослеживалось, ему трудно было избавиться от опасений. Слишком высоки были ставки.

Однажды, дождавшись, когда он закончит свой ритуал (тридцать первый по счету), Мюс спросила:

– Почему Пикачу все время так делает? Он не хочет детей?

Степа издал что то среднее между утвердительным мычанием и отрицательным кряхтением.

– Не бойся, – продолжала Мюс, – об этом я позабочусь сама. Неужели так будет всегда? Пикачу, ну давай хоть разик как раньше…

Степе трудно было ответить отказом.

– Давай, – буркнул он, – только не сегодня. Я устал.

Но следующий раз все равно наступил.

Мюс помнила о своей просьбе – ее пальцы впились в него в момент, когда он уже готов был перелезть через нее и спрыгнуть на пол. Мюс не отпускала. Он мог, конечно, высвободиться силой. Но она была как счастье, как весенняя ночь, как сон о самом главном… И Степа смирился, решив, что за один раз ничего страшного не случится. Закрыв глаза, он прижался к ней и забыл обо всем на свете. Мюс взяла его руку, и он вдруг понял, что висит внутри остановившейся секунды, в самом центре которой была небольшая капелька вечности.

Он увидел свое «34» – оно было ярко белого цвета и парило в пространстве, окруженное со всех сторон огромным красным «66», как Луна, видная из космоса на фоне Земли. Степа сложил эти числа и в первый раз понял, что в сумме они дают ровно сто.

Это было похоже на вспышку перед глазами. Бесконечные смыслы, прятавшиеся в числе «100», раскрылись, словно у Степы появилось несколько сознаний, которые могли воспринимать их одновременно. «Сто» состояло из бытия и небытия, которые были представлены нулем и единицей. Эти же цифры намекали на роли, которые Степа и Мюс исполняли в этот миг в великом театре жизни. А второй ноль был дверью, из которой они вышли на сцену, чтобы отыграть положенное. И в ту же дверь им предстояло вернуться, чтобы вновь стать ничем, растворившись в окружности, замыкавшей бытие с небытием. Но это должно было произойти не скоро, а пока два нуля глядели на них, словно глаза вечности, и у этой вечности были личность и воля, представленные единицей, соединявшей все многообразие сущего в одно целое, которое находилось сейчас совсем близко, готовое наделить новой жизнью. Как всегда, оно пришло на зов стонущего двухголового животного, одного из невероятных существ, которые и населяли эту самую вечность… Степа испугался и попытался заслониться от того, что он, как ему показалось, не вправе был знать. Но страх оказался лишним: бесконечность исчезла, растворилась в себе, и рядом осталась только быстро дышащая Мюс. Придя в себя, она легонько куснула его за губы.

– Пикачу, – прошептала она.

Степе было хорошо и грустно. Хорошо из за того, что он уже давно не испытывал ничего подобного. Грустно было потому, что он понимал – в волшебной вспышке сгорела вся накопленная перед этим энергия. Работы по плану Маршалла надо было начинать с нуля.
3

Уже перейдя на палочки, Степа иногда думал, что проблему можно было решить другим путем – обзаведясь набором вилок с тремя зубцами. Такие попадались ему время от времени в кофейнях – обычно их подавали вместе с пирожным. Крайний зубец у них был шире остальных и образовывал что то вроде лезвия, которым можно было резать пирожное. Теоретически, атаку числа «43» можно было отразить и такой вилкой. Но при этом возникало много вопросов.

Во первых, Степе пришлось бы есть в ресторанах и гостях обычными вилками: банкир в шелковой китайской куртке, который носит с собой палочки для еды, – это очаровательный оригинал, совсем не испорченный деньгами, а вот банкир, который носит с собой собственные вилки, – уже параноик. Во вторых, такой путь был равнозначен капитуляции: словно он признавал победу числа «43» и покорно соглашался на все продиктованные условия. Вариант с палочками был лучше – он не только снимал проблему, но и радовал свободой маневра. Кроме того, именно благодаря палочкам в Степину жизнь вошли Восток и Простислав.

Мюс болезненно переживала дружбу Степы с Простиславом. Она чувствовала, что в его вселенной появился другой духовный авторитет, и ревновала, хотя ни за что в этом не призналась бы.

– Сколько раз повторять, – говорила она, – весь этот Far Eastern crap does not work in the Occident!19 Это попытка уйти от реальных проблем, которые ставит жизнь…

Степа залез в словарь посмотреть, что значит этот термин. Там было написано, что латинское «occident» (от глагола «occidere») переводится как «опускающийся», «идущий вниз». Возможно, это редкое слово было дипломатическим ходом со стороны Мюс, распиской в готовности временно признать условную принадлежность России к Западу в обмен на Степино обещание не уходить слишком далеко на Восток. Но времена, когда с русским человеком можно было расплатиться запахом несвежего чизбургера, прошли. Волшебный призрак Китая манил своими красно желтыми огнями. Люди, с которыми Степа общался у Простислава, вызвали в нем глубокий интерес, и он не собирался отказывать себе в их обществе только из за того, что они не нравятся Мюс.

Правда, не все с Востоком обстояло так гладко, как хотелось бы. Один раз Степа приехал к Простиславу рано утром и попал на брифинг, который тот проводил для нескольких таинственных блондинов в штатском, похожих на капитана Лебедкина. Начал Простислав с вдохновенного монолога про Евразию, во время которого он то и дело заглядывал в книгу с надписью «Three who made a revolution»20 на обложке. Но даже если слова, которые он говорил, были чужими, чувство, которым звенел его голос, было личным и неподдельным:

– На великой Евразийской равнине почти нет препятствий для мороза, ветра и засухи, для марширующих армий и мигрирующих орд. Когда то здесь простирались огромные азиатские

царства – Иранское, Монгольское… Когда они ушли в прошлое, их место заняла Московия, которая расширялась несколько столетий, пока не стала огромнейшей в мире империей. Подобно приливу, она растекалась сквозь леса и бесконечные степи, кое где заселенные отсталыми кочевниками. Встречая сопротивление, она останавливалась, как это делает прилив, чтобы набрать сил, и затем продолжала свое неостановимое наступление…

Степа подумал, что метафора чем то напоминает историю ваучерно залоговой приватизации.

– Только у далеких границ это плато упирается в горные барьеры, – продолжал Простислав. – Снежные вершины Кавказа, Памир, крыша мира (Степа представил себе огромного капитана Лебедкина из снега, гранита и льда), Алтай, Саяны и Становой хребет, которые формируют естественную границу Китая. Разве может народ, чей горизонт так же бесконечен, как Евразийская равнина, не быть великим и не мечтать о величии?

Простислав положил книгу на стол, взял чашечку с чаем и сделал глоток, чтобы смочить горло. Затем он повернулся к доске, взял мел и стал молча рисовать какие то иероглифы (он то ли действительно знал китайский, то ли талантливо делал вид, что знает). Степе было приятно – в первый раз за долгое время кто то вспомнил про величие русского народа. Но это чувство прожило в его душе недолго.

– На современных китайских картах, – заговорил Простислав, указывая на покрывающие доску знаки, – примыкающая к Поднебесной территория Сибири и Дальнего Востока, а также Россия в целом обозначаются тремя иероглифами:

– «двадцать»,

– «вспотеть, запыхаться»,

– «жулик, вор, нечестный коммерсант». Эти же три иероглифа служат для описания существующего в России политического строя. Правительство России обозначается в современном китайском языке четырьмя иероглифами:

– «временный, быстротечный»,

– «начальник»,

– «труба, нефтепровод»,

– «север». Сейчас в Китае дожидаются момента, когда временная администрация северной трубы снизит численность населения прилегающих территорий до пятидесяти миллионов человек, после чего великое учение о пути Дао придет наконец на бескрайние просторы Евразии в полном объеме…

Слова Простислава вызвали в Степе сложное чувство. Что касалось существа вещей, то здесь все было нормально: числа «двадцать» и «пятьдесят» не содержали в себе угрозы, хотя и не обещали ничего особо хорошего. При подробном анализе можно было обратить внимание на то, что

«пятьдесят» отделено от «сорока трех» семеркой, но было неясно, что это сулит – то ли непроницаемую защиту от зла, то ли, наоборот, короткое замыкание. Лучше было не гадать.

Проблемы возникали не с существом, а с частностями. Некоторая странность проглядывала в том, что Простислав рассуждал о «временной администрации северной трубы» в лекции, которую читал персоналу этой временной администрации. Еще страннее ситуацию делало то, что он и сам явно относился к тому же ведомству. Но Степа давно догадывался, что в подобных парадоксах и заключена соль русской жизни.

Он не испытывал праведного гнева по поводу снижения численности населения, потому что знал – дело здесь не во временной администрации северной трубы. Во всем мире белые консумер христиане прекращали рожать детей, чтобы поднять уровень своей жизни. Причем от уровня жизни это не зависело, а зависело только от навязчивого стремления его поднять. «Вот так Бог посылает народы на хуй», – шутил по этому поводу один его знакомый, придумавший даже специальный термин для обозначения этого процесса – «консумерки души». Но если уж идти в этом направлении, думал Степа, то хотя бы в хорошем обществе. Хотя опять таки было не очень понятно, чего в нем такого хорошего. Словом, это была непростая тема.

Приезжая в ГКЧП, Степа встречал там самых разных посетителей. Один раз, дожидаясь Простислава, он разговорился с тремя молодыми людьми, одетыми в такие же китайские куртки, как на нем. Эта деталь сразу расположила его в их пользу. А глаза молодых людей, горевшие неземным огнем, заставили Степу предположить в них людей высокодуховных.

«Наверно, – подумал он, – какие нибудь особенные мистики».

Двое высокодуховных мистиков были художниками оформителями, а третий – ландшафтным дизайнером. Желая сказать что нибудь приятное, Степа вежливо заметил, что на огромных просторах России для человека с такой профессией работы, наверное, непочатый край. После этого ландшафтный дизайнер почему то помрачнел. Но кончилось знакомство хорошо – Степа и оформители обменялись визитными карточками.

– Эти то? – переспросил Простислав, когда Степа решил навести справки. – Сурьезный народ…

И добавил какое то слово – что то вроде «амитафинщики».

Степа раньше не встречал этого термина, но сразу догадался, что он означает. От гостей Простислава он слышал про будду Амида, владыку мистической Западной Земли, где возрождаются праведники, чтобы за один короткий марш бросок достичь окончательной нирваны. Для того чтобы родиться в Западной Земле, японцы повторяли заклинание: «Нама Амита Буцу», что означало «Вижу Будду Амида». Китайцы же сжимали все в одно слово – «Амитафо». Видимо, загадочные «амитафинщики» и были праведниками на пути к Чистой Земле – а то, что Степа сумел понять это сам, по одному только блеску глаз, наполнило его самоуважением и подтвердило, что и сам он – не последний человек на духовном пути (догадываться об этом он начал после знакомства с Простиславом).

Вскоре Степа прочел в журнале заметку про дзенский сад камней. Написано было немного: что есть де такой тип сада, который разбивают при монастырях, так как он способствует успокоению

сознания. Степа подумал, что вполне можно устроить что нибудь похожее на даче – например, на месте теннисного корта, которым никто не пользовался с тех пор, как Ельцин вышел из моды. Это очень пошло бы и к палочкам, и к общей восточной ориентации. Он вспомнил про ландшафтного дизайнера, пробивающегося к Западной Земле сквозь вихри сансары, и решил позвонить.

– Дзенский сад? – энергично переспросил ландшафтный дизайнер. – Знаем. Сделать можем. Но стоить будет дорого…

Степа решил не мелочиться. Он как раз уезжал на финансово экономический форум, совмещенный с десятидневным морским круизом – и ландшафтный дизайнер с друзьями получили карт бланш.

Мюс, оставленная на делах, проводила часть времени в банке, а часть на даче, наблюдая за ходом работ. Она позвонила ему на мобильный, чтобы поделиться сомнениями. О том, что именно строили привезенные молодыми людьми рабочие, она не говорила, считая, видимо, что сфера искусства вне ее компетенции. Ее подозрения вызвало другое:

– Они какие то странные. Бледные, ночью не спят. Глаза навыкате, и челюсти трясутся, как будто они что то постоянно жуют или бормочут…

«Вот ревнует, а? – подумал Степа. – Все таки в главном все бабы одинаковы».

– Эх, Мюся, – откликнулся он, глядя на красную полосу заката за кормой, – я тебе так скажу. Нам с тобой тоже не мешало бы так бормотать. Родились бы на блаженном Западе.

– Я и так родилась на Западе, – с достоинством ответила Мюс.

– Это не тот Запад, – сказал Степа, припоминая слышанное в лавке у Простислава. – Там, где ты родилась, воплощаются убитые людьми животные, главным образом быки, свиньи и тунец, чтобы в качестве компенсации некоторое время смотреть фильмы Дженифер Лопес, слушать вокально инструментальные ансамбли «Мадонна» и «Эминем» и размышлять, как сэкономить на квартирном кредите. Это как отпуск. А потом опять придется много много раз рождаться животными. Ну и затем опять можно будет ненадолго вынырнуть – послушать, что тогда будет вместо Эминема и Джей Ло. И так без конца. Это называется сансарой, чтоб ты знала. А есть настоящий Запад – чистая земля будды Амида, где… где… В общем, словами про это не скажешь. И вот эти ребята, которые сейчас у нас работают, собираются в следующей жизни родиться именно там. Поэтому и бормочут. Понятно?

– Понятно, – сказала Мюс. – Значит, у нас рождаются быки и свиньи. А у вас в России кто рождается?

– У нас? – Степа изо всех сил напряг память, вспоминая, что по этому поводу говорилось у Простислава. – У нас рождаются побежденные боги. Небесные герои, совершившие военное преступление. Асуры, чью ярость не могут вместить небеса…

Мимо по палубе прошел босой браток в белом костюме, со стратегической цепью типа «голда меир» на шее. У него была крохотная голова, мощные надбровные дуги и рябое лицо

монгольского палача. Он что то тихо разъяснял переводчику в полосатом костюме тройке, который шустрил рядом, с энергией ретранслируя это в прижатую к сизой щеке трубку:

– Absolutely! The fact that he ain't no pig no more is exactly the shit that pisses everybody here the fuck off!21

Поглядев на Степу, браток кивнул ему как старому знакомому и ухмыльнулся во весь рот.

«Клиент, что ли? – озабоченно подумал Степа. – Вроде не помню такого».

– Остальное потом расскажу, – сказал он в трубку, радуясь, что так удачно и красиво закрыл сложную тему – он дорожил не только мнением Мюс о себе, но и крохотным плацдармом духовной независимости, отвоеванным у нее с такими усилиями. – Главное, Мюся, ты делай все, что эти ребята просят.

– Они спрашивают, какой сад камней делать – с лингамом?

– А?

– Они сказали, что бывает два вида дзенского сада камней – со священным лингамом победы и без.

– Я это и без них знаю, – бросил Степа.

– С лингамом на пятнадцать тысяч дороже. Они просят сейчас решить, потому что в смету вносить надо.

– Ну конечно с лингамом, – сказал Степа. – Пора бы тебе, Мюся, научиться самой такие вопросы решать. Все, отбой.

Вернувшись домой, Степа с головой нырнул в дела и первые несколько дней провел в Москве, думая о совсем других вещах. Сумма в счете, который Мюс положила ему на стол, заставила его поднять брови, но он ничего не сказал. Вместе со счетом на стол легла продолговатая коробка, обитая узорчатым желтым шелком, – в таких, только размером поменьше, лавка Простислава продавала чайные наборы.

– Что это? – спросил Степа.

– Это священный лингам победы, – ответила Мюс. – Он отдельно.

– Ясное дело.

Дождавшись, когда Мюс выйдет из кабинета, Степа открыл коробку. Внутри, в аккуратных углублениях, лежали три пластиковых члена – синий, красный и зеленый. Они были сделаны с соблюдением всех анатомических подробностей – с точностью, которая переходила в непристойность. Их покрывали надписи мелкой вязью – не то санскрит, не то тибетское письмо. Степа взял один член в руку. На нерабочем торце у него была круглая дырка, похожая на дуло.

«Можно туда карандаш засунуть, – механически подумал Степа. – На всю длину, чтобы этот елдак не думал, что он тут самый фаллический… Так. Они что, издеваются? Или я чего то не догоняю?»

Положив член назад в коробку, он еще раз оглядел всю композицию, и заметил по углам четыре одинаковых медных кружка с изображением китайского символа «Инь Ян» (У Степы был собственный «Инь Ян», цифровой – «343/434»). Три лингама, четыре кружочка… Степа почувствовал, что от сердца у него отлегло.

В конце концов, говорил один из гостей Простислава, в этом мире каждый всю жизнь общается только с небом, а другие – просто вестники в этом общении. Степа ясно видел перед собой число «34». Могли ли последователи будды Амида послать ему знак лучше? Вряд ли. Но на всякий случай он решил позвонить Простиславу.

– Простислав, мне тут лингам победы принесли…

– Лингам то? – отозвался Простислав. – И чего?

Степа замялся. Было непонятно, откуда начинать.

– Где его хранить?

– А где душа пожелает. Чтобы было не очень холодно, но и не очень жарко. Не очень сыро, и енто, как его… Не очень сухо.

– А зачем он вообще?

Простислав помолчал.

– А сам ты, что, как думаешь? – спросил он.

Степа напряг душевные силы.

– Ну, наверно, это что то вроде… Что то вроде магического жезла? Или ключа? Раз он отдельно?

– Ты смотри, угадал, – с легким удивлением ответил Простислав. – На глазах растешь, Степа, на глазах. Скоро в ученики к тебе пойду…

– А почему их три?

– Три? Ну а как. Ты когда дверь новую ставишь, сколько тебе ключей дают? Один вроде мало, десять уже как бы и много. Чего ты меня то спрашиваешь? Ведь сам все интуичишь…

Как обычно, беседа с Простиславом укрепила Степину уверенность в себе. Разобравшись с делами, он поехал на дачу, предчувствуя, что его ждет что то очень необычное. И это предчувствие не обмануло.

Вместо корта Степа увидел перед собой каток. Так, во всяком случае, можно было решить, глядя на борта со скругленными углами и маленькой дверкой. Эти борта были украшены множеством надписей и рисунков самого разного вида, словно кто то покрыл обычный рекламный ассортимент несколькими слоями уличных граффити, а затем для остроты добавил пару флуоресцирующих цукатов (особенно выделялся оранжевый зигзаг «мочи ГадоВ!», который отозвался мгновенным эхом в самой глубине Степиной души).

Сходство с катком ограничивалось формой бортов. Вместо льда под ногами была трава – ленты японского дерна, то перекрывающие, то, наоборот, не дотягивающиеся друг до друга. Не знай Степа, сколько стоит такая продуманная небрежность, он бы, наверно, решил, что здесь работали похмельные стройбатовцы за день до демобилизации. Но, поскольку это был дзенский сад камней, он догадался, что к кажущимся недоделкам следует отнестись так же, как к следу кисти, на которой почти не осталось краски: никому ведь не придет в голову считать это недостатком при анализе каллиграфии, хотя, безусловно, такое было бы недоработкой при покраске забора.

Ни одного камня на всем огороженном пространстве Степа не увидел. Вопросов по этому поводу у него не возникло – точнее, они появились, но одновременно в голове мелькнул и вероятный ответ: мол, дзенский сад камней с камнями – это уже не дзенский сад камней. По этому поводу можно было не звонить Простиславу и другим людям знания, а обслужить себя самому.

Вместо камней его ждало другое. В центре огороженного пространства из дерна торчали три пластмассовые пальмы. Врытые в землю на расстоянии в несколько шагов друг от друга, они отчетливо выделялись на фоне бледного подмосковного неба. Их было три, а кусков неба, нарезанных их прямыми стволами, четыре – два между, и два по бокам. И это нежданное «34» так приветливо раскрывало перед Степой свою знакомую, но заново новую суть, что все его сомнения исчезли. Он почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Сложив ладони перед грудью, он поднял глаза к небу и тихо тихо прошептал:

– Амитафо! Амитафо! Амитафо!

А потом, после паузы, быстро добавил:

– Амитафо! Амитафо! Амитафо! Амитафо!

Англофилия казалась Степе почтенным и даже в некотором смысле патриотичным культурным изыском – она как бы устанавливала родство между ним и Набоковыми петербургского периода, которые весело плескались в надувных резиновых ваннах в своем гранитном особняке на Морской, обсуждая на оксфордском диалекте связь между подростковой эрекцией и смертью графа Толстого. Кроме того, Степе очень нравился английский язык – его идиомы указывали на высокий и веселый ум, хотя этот ум очень трудно было встретить в англичанах проявляющимся иначе, кроме как в самой идиоматике языка в тот момент, когда англичане ею пользовались.

Кончилась англофилия просто и быстро. Однажды Степа решил выяснить, чем живет народ его мечты, взял номер самой популярной британской газеты, «The Sun», и со словарем прочел его от

корки до корки (если бы не мистическое совпадение с названием банка, его вряд ли хватило бы на такой подвиг). Дочитав последнюю страницу до конца, он понял, что больше не англофил.

Какое там. У него было чувство, что его только что заразили коровьим бешенством посредством анального изнасилования, но сразу же вылечили от него, отсосав вакуумным шлангом все мозги, на которые мог подействовать страшный вирус. Однако англофобом он тоже не стал – это подразумевало бы высокую степень эмоциональной вовлеченности, а она теперь отсутствовала начисто. Все было предельно скучно и предельно ясно, и снежные плечи отчизны казались куда привлекательнее, чем час назад (впрочем, Степа знал, что такое чувство обычно длится до первого к ним прикосновения). Степино отношение к Мюс, конечно, не пострадало – к этому времени он уже любил ее всерьез. Затронутой неожиданно оказалась другая фундаментальная константа. У него впервые появилось желание переименовать «Санбанк».

Но сначала Степа решил поделиться своим открытием с Мюс.

– А, «The Sun», – сказала она. – У нас ее никто не читает.

– Как так? – спросил Степа. – Как никто не читает, когда это самая популярная газета?

Мюс посмотрела на него с надменной гордостью.

– To understand this you have to be British22, – сказала она.

Все таки был в британцах какой то внутренний стержень, что то такое, что внушало уважение. Этого нельзя было отрицать. Но с англофилией после чтения «The Sun» было покончено навсегда. С тех пор Степа посылал иногда курьера в центр Москвы, где можно было купить эту газету, и в шутку подкладывал ее Мюс. Та делала вид, что ничего не замечает, но между ее бровей на несколько секунд появлялась складочка, которая каждый раз заставляла Степу таять от нежности.

Желание переименовать «Санбанк» давало о себе знать еще долго после этого случая. Пережитый шок открыл Степе глаза на то, что никакой сущностной связи между числом «34» и названием не было. Если эта связь существовала вообще, то исключительно благодаря тому, что он создавал ее сам. Точно так же можно было связать «34» и с названием кинотеатра, где он получил в день своего семнадцатилетия решающий мистический знак. Нет, название определенно могло быть и получше.

Это делалось особенно актуальным в дни, когда ему надо было срочно зарядить число силы той самой силой, числом которой оно должно было быть. А где было ее взять, как не в самом этом числе?

Он много думал на эту тему, что давало интересные побочные результаты. Один раз он отследил жизнь идеи с начала до конца. Это было поучительно. Все в ней было как в человеческой: зачатие, рождение, мучительная битва за существование и нелепая гибель.

Зачатие произошло во время поездки на Канарские острова (банковский симпозиум, на делах в Москве снова осталась Мюс). Поездка была интересной, но ознаменовалась одним крайне неприятным происшествием.

Развлекаясь у себя в номере с проституткой, вызванной по телефону с виллы «Cosmos» (опять вранье), Степа лениво поглядывал на экран телевизора, поглаживая кудри кислотного цвета в районе своего живота. По телевизору шел фильм про инквизицию – он был на испанском языке, но в нижней части экрана бежали английские титры, что позволяло Степе понимать происходящее. Толстый монах капуцин, которого волокли куда то стражники в кирасах, молился:

– Take this cup away from me…

«Да минет меня чаша сия», – механически перевел Степа и вдруг обнаружил удивительное совпадение между словом, стоявшим в начале этого выражения, и делом. Значит, искусство действительно отражало жизнь! Может быть, и не так примитивно прямо, как думали русские реалисты, но в конечном итоге все равно отражало.

Кислотная труженица отражала очень умело, и чаша уже вырисовывалась на горизонте событий. Степа ощутил ту разновидность когнитивного диссонанса, которую народ отразил в пословице «хоть иконы выноси», – происходившее в комнате не соотносилось с высокой духовностью драмы на экране. Он щелкнул пультом, и телевизор показал ту самую чашу, о которой он только что думал. Это была плоская хрустальная рюмка, полная желтоватой жидкости.

В следующую секунду все и случилось. Рюмка отъехала в сторону, а ее место заняла бутыль вроде коньячной с крупной цифрой «43» на этикетке. Степа так дернулся, что девушка чуть не повалилась на пол, подвергнув его здоровье серьезному риску.

Это была реклама испанского алкогольного напитка «Liqor 43», который уже попадался ему в здешних барах и ресторанах, портя настроение на весь вечер. Картуш с проклятыми цифрами наехал на камеру, потом на комнату, потом на Степу, потом на всю Вселенную. «Liqor 43, – услышал Степа голос из динамика, – Nobody knows the night better!»23

Испортить такую секунду… Степа почувствовал, как его глаза набухают слезами, совсем как в те далекие дни, когда исписанный разноцветными семерками лист бумаги, подложенный под матрац, оказывался не в состоянии защитить от самого страшного, что только могло случиться, – ночной лужи во всю простыню. Чем ближе становился сорок третий день рождения, тем наглее вело себя число «43». В окружающем сумраке, замаскированном под ясный солнечный день, вызревало что то страшное, холодное, направленное против него своим ядовитым острием, и надо было действовать, пока это острие не впилось ему в мозг.

Надо было что то делать. Но что?

Пролетая на следующий день над Гран Канариа на арендованной «Сессне», он заметил нечто, показавшееся ему огромными солнечными панелями. На самом деле это была пленка, защищавшая растения от солнца, своего рода парники наоборот. Но Степа не стал отвлекать пилота расспросами и узнал об этом только после посадки. Его воображение поразил образ огромных солнечных батарей.

«Солнце в небе каждый день, – думал он, глядя на синий океан с белыми штрихами барашков. – Но пока не подставишь солнечную панель под его лучи, электричества не будет».

Число «34» даже превосходило солнце, потому что светило из своего идеального мира днем и ночью. Чтобы воспользоваться его могуществом в полном объеме, надо было придумать нечто вроде солнечной батареи, которая впитывала бы его целительные эманации. Такой солнечной батареей могло бы стать, например… например…

Шум самолетного мотора мешал Степе думать. Единственный вариант, который снова и снова приходил ему в голову, – это новое название банка. Но он помнил, как трудно зашифровать в нем число «34». Вздохнув, он перевел взгляд с антипарников, которые он принимал за солнечные батареи, на желтое пятнышко далекого виндсерфера, которое он принимал за швартовочный буй. Примерно посередине между ними белел след только что развернувшегося катера, похожий с высоты на греческую букву «Гамма». В следующий миг Степины мысли перескочили на другое. Но зачатие уже произошло.

Родилась зачатая на Канарах мысль в России. Степа ехал в машине по мглистой и депрессивной Москве. Тихо играло радио – гей звезда Борис Маросеев в своей неповторимой манере исполнял песню «Сурок всегда со мной». Степа знал из новостей, что артистом плотно занимается молодежное движение «Эскадроны Жизни», убеждая его уделять больше внимания патриотической тематике. Видимо, песня про сурка по какой то причине попала в эту категорию.

Степа задумался, почему, несмотря на продуманно порочный имидж исполнителя и яростные оргиастические вопли, которыми Борис взрывался после каждого куплета, сквозь музыку просвечивает высокая грусть, от которой на душе становится светлее. Через минуту он понял, в чем дело. Борис был подлинным артистом – в его голосе звучала то прорвавшая преграды страсть, то глухой минор раскаяния, то шепот соблазна, и все вместе неведомо как создавало у слушателя чувство, что сурок, о котором он поет, – это совесть, господний ангел, тихо парящий над плечом лирического героя, записывая на небесную видеопленку все его дела. Сплав порока и покаяния в одно невозможное целое делал песню шедевром.

Вдруг Степины мысли по какой то причине переключились на половую жизнь приматов. Он вспомнил любопытный рассказ Мюс: оказывается, в стаде шимпанзе было три вида самцов – Альфа, Бета и Гамма. Самыми сильными были Альфа самцы. Бета самцы были послабее, но совсем чуть чуть, поэтому все время соревновались с Альфами. А Гамма самцы были настолько слабее, что никогда не лезли в драку. В результате получалась интересная картина: пока Альфы с Бетами мочили друг друга в кустах, выясняя, кто круче, Гаммы оплодотворяли большую часть самок в стаде.

У Степы екнуло в груди. Он почувствовал, что в аквариум на его плечах заплыла золотая рыбка, и, может быть, не одна. Первые четыре буквы греческого алфавита были «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» – это он помнил из институтского курса математики, где так обозначались неизвестные в уравнениях.

«Гамма банк»! Ну конечно же! «Гамма банк». Греческая буква «гамма» давала тройку, а слово «банк» – четверку, поскольку в нем было четыре буквы. Здесь, правда, имелась небольшая натяжка – тройка из одной оперы, четверка из другой. Но число «34» можно было без всякой натяжки представить буквами «гамма» и «дельта». Они не соединялись в одно слово, но могли появиться в нужной последовательности в рекламном слогане, который стал бы чем то вроде

магической мантры, крутящейся в ветряном барабане купленного эфира. Это и стало бы мистической электростанцией, способной зарядить число силы необходимой энергией.

И новое название, и PR концепция родились в Степиной голове за долю секунды – во время паузы между двумя хриплыми стонами лирического героя Бори. А может, его сурка – сказать наверняка было сложно из за большого количества электронных примочек.

«Гамма банк» следовало противопоставить «Альфа банку». Контрпозиционирование было самым эффективным видом раскрутки. И нечего было бояться, что его примут за Моську, лающую на слона. Смелость города берет. Кто помнит имя слона, на которого лаяла Моська? Никто. А Моську знают все.

Число «34» можно было прописать, например, так:

«Пока Альфа старается быть круче Беты, а Бета пытается стать круче Альфы, Гамма банк снимает вашу Дельту!»

Или, пожалуй, еще агрессивней:

«Альфа банк надежен как танк,

А Гамма банк надежен как банк!»

Это было совсем хорошо, только здесь выпадала «дельта». Можно было заменить в первой строке «надежен» на «стучит», тогда получалось вообще расчудесно, если не считать того, что пропадала вся игра слов, а вместо них начинало поигрывать очко: все таки Степа знал, что Гамма самцам лучше не наезжать на Альф без крайней необходимости. И напоследок ассоциативные сети притащили еще одного мертвеца – строчку «Банки грязи не боятся».

Писать слоганы было не его делом, это Степа чувствовал. Но было ясно, что профессионалы, хотя бы тот циничный специалист, которого Мюс привлекала для оформления плоскости на Рублевке, сумеют правильно расположить гамму и дельту множеством разных способов.

Боря Маросеев наконец добился от сурка всего, чего хотел, и успокоился. После короткого рекламного блока анонимные итальянцы запели про ад – так, во всяком случае, казалось по припеву «бона сера, бона сера, сеньорита». Это было мрачновато.

– Радио замучило, – сказал Степа шоферу. – Поставь ка «Bon Jovi».

Он часто слушал эту группу – не потому, что любил их музыку, а по гораздо более серьезным причинам. Шофер загнал компакт диск в приборную доску, и вместе с первыми гитарными риффами в Степин аквариум вплыла мурена сомнения. Слово «гамма» точно не встречалось в бизнесе, это он помнил. А вот «дельта»… Что то такое было. Этим термином, взятым из институтского курса математики, еще во времена компьютерной лихорадки называли разницу между затратами и прибылью. Комсомольцы восьмидесятых и девяностых молились на «дельту»

примерно так, как он – на число «34». Не может быть, чтобы никто из них до сих пор не вооружился этим словом.

Степа вынул мобильный и набрал номер Мюс.

– Мюсюсь, это Пика. Узнай ка, есть в России банки, в название которых входит слово «дельта». И какие у них PR слоганы. Сразу перезвони.

Мюс перезвонила через пятнадцать минут. Дельта банков в России существовало около двадцати, а с учетом тех, которые успели исчезнуть с лица одной шестой, их набиралось около сорока. Насчет слоганов Мюс просила дать ей время – пока она выяснила только один, которым был вооружен московский «Дельта кредит»:

«Дельта кредит. Полная гамма услуг».

Дельта, потом гамма. Четыре, за ним три. Мало того, еще одно «43» было заключено в словосочетании «Дельта кредит»: буква «дельта» давала четверку, а буква «к» – тройку, поскольку в ней было три угла. Степа застонал, словно в спину ему вонзилось зазубренное копье, и повалился на сиденье. Водитель испуганно поглядел назад и затормозил.

– Ничего, – сказал Степа чуть слышно, – ничего. Сейчас.

Вот так, подумал он, когда предсердечная тоска отпустила. Пока «Альфы» с «Бетами» мочат друг друга в кустах, а «Гаммы» имеют всех самок в стаде, «Дельты» открывают свой бизнес на соседней поляне. И поделать с этим ничего нельзя. Капитализм.

Вечером Степа принял снотворное, и ему приснились похороны. Он стоял возле могилы, на дне которой лежал розовый пластмассовый гробик. В нем была идея, которая родилась у него днем. Степе хотелось вскрыть гробик, чтобы посмотреть, как выглядят мертвые идеи, но он не решался, потому что был в этом печальном месте не один.

На другом краю могилы сидел пьяный сурок в шапке ушанке, на которой сверкала начищенная кокарда с буквой «альфа». Оправдываясь, сурок что то лопотал в мобильный и моргал красными глазами. На шее у него виднелись два больших фиолетовых засоса. Степа, чтобы не обидеть его, делал вид, что слушает через прижатую к уху расческу. Но думал он совсем о другом – о том, что не будет менять названия своего банка, просто станет относиться к планете, на которой живет, немного хуже. И все.

Утром Степа проснулся разбитый и отменил обе назначенные на день встречи.

Через несколько дней на стол перед Степой легла красная сафьяновая папка со справкой по «Дельта кредиту», которую подготовила Мюс. В папке была большая цветная фотография и девять покрытых мелким шрифтом страниц. От каждой из них у Степы осталось такое чувство, будто ему

дали кулаком по роже – причем каждый раз удар наносился под другим углом, чтобы он не привыкал.

Президента банка звали Георгий Варфоломеевич Сракандаев. Он происходил из старообрядческого рода, где мужчин несколько веков подряд называли только именами «Георгий» и «Варфоломей». Не надо было быть индейцем следопытом, чтобы распознать в имени «Георгий» то же число, которое, злобно хохоча, заявляло о себе в слогане «Дельта кредит. Полная гамма услуг!». Первой шла четвертая буква алфавита, в слове было три гласных. Вопросы есть? Нет. Но этим не ограничивалось: инициалы Георгия Варфоломеевича, «Г» и «В», тоже давали «43»! Мало того, Степа ясно слышал в слове «Сракандаев» чуть искаженный корень «сорок», а в конце, чтобы не оставалось никаких сомнений, снова стояла третья буква алфавита. Тройное зло – очевидное, наглое, жирное, самодовольное, уверенное в своей безнаказанности и даже не думающее скрываться.

В справке говорилось, что друзья и партнеры по бизнесу называют Сракандаева Жорой, и в светской хронике он фигурирует только под этим именем.

ЖОРА СРАКАНДАЕВ… Степа долго долго вглядывался в это странное словосочетание, похожее на червя. Буква «Ж» напоминала челюсти жвала, следующая за ним «о» – ротовое отверстие, а конечная «в» – округлые мягкие ягодицы. Первое слово как бы ело; второе – оправлялось; все остальные буквы были органами пищеварительного тракта. Это словосочетание медленно двигалось влево, в область непожранного, а то, что стояло в строке справа от него, казалось выброшенным из организма калом… Но Степа понимал, что такое восприятие могло быть обусловлено его предубежденностью, и другой человек не заметил бы ничего подобного.

В те времена, когда Степин «Sun bank» был еще «Санбанком», сракандаевская «Дельта» называлась «Мунспецбанком». Прочитав это слово, Степа почувствовал томление в груди и несколько секунд дожидался, пока оно пройдет. Из дальнейшего следовало, что это – сокращенное «муниципальный» и не имеет никакого отношения к английскому «Moon». Но ведь и «Sun» из его собственного логотипа когда то означало не солнце, а санитарию. Выходила странная вещь: фирма, начинавшая когда то с тех же форм социальной мимикрии, что и «Санбанк», была с самого начала абсолютным антиподом его солнечного детища. Такое, Степа чувствовал, не могло быть простым совпадением.

Перевернув еще одну страницу, он получил новый удар. Адрес «Дельта кредита» был такой – улица Курской битвы, дом сорок три. Еще одно совпадение? Степа криво ухмыльнулся. Не просто Курская улица, улица Курской битвы.

Он хорошо помнил, каких трудов стоило найти подходящий особняк за номером тридцать четыре для здания «Санбанка» – были проверены все улицы внутри Садового кольца, а потом на взятки ушло столько денег, что ими можно было бы серьезно поддержать отечественное ракетостроение. Его лунный брат (а в этом Степа уже не сомневался) оказался куда удачливей – боги зла послали ему не просто дом номер сорок три, а дом номер сорок три на улице Курской битвы. Степа не мог подкрепить свою догадку ни одним рациональным аргументом, но был уверен, что Курская битва 1943 года занимала в личной мифологии Сракандаева такое же место, как и в его собственной, только с обратным знаком.

Больше того, «Дельта» была таким же карманным банком, как и Степино детище (может, чуть посерьезней), и тоже была некоторым образом связана с нефтью и трубой, только обслуживала русско немецкий консорциум «Айн Нене», зарегистрированный для ухода от налогов на территории Ненецкого автономного округа. Про «Айн Нене» удалось узнать на удивление мало – концы были спрятаны в воду так хорошо, что это тоже походило на семейный бизнес. Если так, Сракандаев был серьезным врагом, очень серьезным.

Но Степа не собирался сдаваться без боя. После заключения контракта с «Ойл Эве» он и сам предполагал, что работает на семейный бизнес (поэтому, попав в компанию, где кто нибудь начинал высказываться про Татьяну Дьяченко или Романа Абрамовича, он вставал и с гордо поднятой головой выходил из комнаты). Так что весовая категория была одна.

Еще про Сракандаева было известно, что в свободное от работы на главного клиента время он занимался тем, что помогал надежно уводить из страны деньги – но проценты за это брал огромные, около пяти шести. Кроме того, ходили слухи, что в бурные девяностые он заказал нескольких человек – но доказательств, естественно, не было.

В остальном бизнес Сракандаева строился вдоль тех же силовых линий, что и Степин. Удивляться тут было нечему: других в природе уже не встречалось. Может быть, их вообще никогда и не существовало, просто раньше, в романтические времена первоначального накопления, казалось, что они есть? Это был вопрос отвлеченный и философский, а такие, Степа знал, внятных ответов не имеют.

В практической области ответа тоже не ожидалось, но по другой причине: там уже давно не возникало никаких вопросов. С первого взгляда было ясно, что схемы, которые применял «Дельта кредит», ничем не отличались от бизнес технологий «Санбанка». И Степа, и Сракандаев были маленькими живыми винтиками в двигателе непостижимого уму мерседеса – березового «Геландевагена» с тремя мигалками, который сменил гоголевскую птицу тройку, и так же неудержимо – чу! – несся в никуда по заснеженной равнине истории.

У каждого из них имелось свое уникальное место на общенациональной экономической синусоиде, но функция была одна и та же – сама синусоида, и это не могло быть иначе, потому что в любом другом случае мест на ней у Степы со Сракандаевым уже не оказалось бы. Чисто тригонометрия. В среду наступала Степина очередь перевести, обналичить, снять, откинуть, отмазать, отстегнуть, отогнать и откатить, а в четверг приходила очередь Сракандаева, и в эти минуты каждый из них был, возможно, самым важным для страны человеком. Но этим календарным сдвигом разница между двумя банками по большому счету и ограничивалась – в остальном они были экономическими близнецами, и даже крышевал их, как выяснилось, один и тот же джедай – Леня Лебедкин.

Зато как люди Степа и Сракандаев отличались очень сильно. Так, во всяком случае, следовало из досье.

Сракандаев слыл покровителем изящных искусств и имел множество друзей среди московской богемы. Степа эту публику презирал, полагая, что богема существует главным образом для того, чтобы скрашивать досуг дорогих адвокатов.

Сракандаев собирал картины современных художников. Степа считал всех их без исключения наперсточниками духа, причем нечистого.

Сракандаев проводил ночи в элитных ночных клубах. Степу туда было не заманить.

Сракандаев ездил на «Астон Мартине» (модели «Vanquish 12», как у Джеймса Бонда, только у Бонда не было мигалки, а у Сракандаева была). Степа предпочитал солидно патриотичный «Русич V700», сделанный на основе классического «Геландевагена» (у него была одна из первых моделей штутгартского бюро по доводке «Брабусов» для клиентов из России, и он страшно ею гордился, хоть купил машину не новой).

Сракандаев любил водить сам. Степу, который терпеть не мог сидеть за рулем, возил шофер.

Словом, разница между ними была такая же, как между числами «34» и «43», – вся возможная плюс еще немного.

В справке приводилось два странных факта со ссылкой на «конфиденциальные источники». Во первых, рабочий кабинет Сракандаева в «Дельта кредите» был обит пробкой для звукоизоляции. Зачем, было непонятно. Во вторых, в богемных кругах Сракандаева называли «Ослик Семь Центов». Почему ему дали такое прозвище, Мюс не смогла установить.

Степа в десятый раз поглядел на фотографию. На него смотрело глуповато добродушное лицо с рыжеватыми усами и чуть косыми щелками хитреньких глаз. Захлопнув папку, Степа уставился в окно.

«Ослик, – подумал он, – но почему ослик? При чем тут ослик? Может быть, так: ноги дают цифру четыре, а уши плюс хвост дают три, итого получаем известно что… Но почему сначала ноги? И почему хвост надо считать с ушами, а не с ногами? Он ведь ближе к ногам. Одни загадки. Что это за «семь центов»? Наверно, сначала тоже был пакт с семеркой. А потом – четыре плюс три? Вместо моих три плюс четыре? Похоже. Правильно говорят, что зло – это просто зеркальное отражение добра. Но почему центы? Ах, если б знать, если б только знать».

Офис «Дельта кредита» размещался в довольно странном здании. Это была полуразрушенная церковь, не представлявшая, видимо, ни исторической, ни архитектурной ценности: патриархия не предъявила на нее прав. Архитектор восстановил ее необычным способом: в завершенном виде здание выглядело не как отреставрированный храм, а как странный гибрид – модерновая конструкция, встроенная в чуть укрепленные стальными стяжками развалины. Небольшая пирамида из графитового стекла, вписанная в кирпичные руины, читалась как буква «дельта» – в общем, вышло стильно, остроумно и в меру святотатственно. Степа испытал зависть – его собственный офис, располагавшийся в солидном особняке, выглядел по сравнению с этим авангардным шиком по купечески пошло.

Несколько раз проехав мимо «Дельта кредита» на машине, Степа решился наконец проникнуть на враждебную территорию. Перед этим он в первый раз в жизни загримировался.

У него уже много лет пылилась в шкафу пегая борода, купленная спьяну в лондонском театральном магазине вместе с тюбиком спецклея. Она сделала его похожим на чеченского полевого командира. Немного подумав, он натянул свитер крупной вязки а ля Хемингуэй, чем окончательно закрепил сходство с сепаратистом в поисках жанра.

Возможно, именно по этой причине охрана пустила его внутрь без расспросов, хотя у Степы наготове был проспект «Дельта кредита» и вопросник по поводу кредитования – в крайнем случае он собирался выдать себя за ходока от бизнесменов из Сибири.

В приемной дожидалось несколько человек. У двери в кабинет Сракандаева сидела секретарша. Степа быстро сел в кресло возле входной двери, закинул ногу за ногу и закрылся потрепанным номером «Коммерсанта» с большим портретом Березовского на первой полосе.

Этот камуфляж не был случайной импровизацией. Степа знал, что в мозгу любой секретарши имеется область, по функциям близкая к определителю «свой – чужой» на станции противовоздушной обороны. Как именно этот определитель работает, Степа не имел понятия. Зато он знал, как его обмануть. Это был, можно сказать, боевой опыт – именно так один сумасшедший, точно знавший, где находится вход в Шамбалу, целый день прятался в его собственной приемной прямо напротив стола Мюс, которая потом долго не могла понять, откуда он выскочил при появлении Степы.

– Прямо из воздуха, – говорила она, разводя руками. – Incredible!24 Может, он и правда знает, где эта Шамбала?

Теперь у Степы в руках была та самая газета, конфискованная у сумасшедшего охраной (он не знал, что именно ставит такую надежную помеху вражеским радарам – портрет Березовского, слово «Коммерсант», или вся икебана, поэтому решил не рисковать). Все произошло, как Степа и надеялся: секретарша Сракандаева подняла на него глаза, увидела фото на первой полосе и тут же о чем то задумалась. Вопроса о цели визита не последовало.

Оглядывая приемную из за газеты в крошечный японский монокуляр, Степа словно открывал карты адского пасьянса. Они ложились одна к одной. На стене висели две картины – маленькая и большая. Обе на военную тему, по последней моде, но Степа быстро понял, в чем их подлинный смысл.

Первая, очень старая, изображала отряд гусар, несущийся куда то сквозь клубы голубого перистого дыма (в небе над ними висела аккуратная красная надпись: «Семену Кожеурову на память от бойцов четвертой Гвардейской орденоносной штрафной бронетанковой дивизии»). Вроде бы во всем этом не было никакого криминала, но картина называлась «Прорыв». Сорок третья гексаграмма «Книги Перемен» – комментарии были излишни.

С большой картиной дело обстояло еще мрачнее. Ее автором был некий Лукас Сапрыкин – видимо, кто то из богемных приятелей Сракандаева. Она называлась «Курская битва». Одного этого было достаточно, чтобы испортить Степе настроение на весь день. Но то, как именно Лукас Сапрыкин увидел Курскую битву, вызвало у Степы спазм предсердечной тоски. Картина изображала розовую «тридцатьчетверку», стоящую посреди поля, по которому бродили

огромные тигры. На башне танка сидел на четвереньках голый человек в маске Бэтмана и гадил прямо в открытый люк.

После этого удара под дых Степа уже не удивился, опознав истребитель «МиГ 29» в модели самолета, стоявшей на столике в углу приемной. Это было естественно – число «29» являлось главным союзником сорока трех, и где же было обретаться его ядовитым щенятам, как не в логове зверя. Дальнейший осмотр помещения, возможно, открыл бы Степе новые сближения и смыслы, но тут в приемную вошел раскрасневшийся с холода Сракандаев.

Он был такой же, как на фотографии, – похожий на хитрого хомячка, знавшего что то такое, что делало его главнее не только лисы, волка и медведя, но и голого Березовского с калькулятором в руке.

– Вы ко мне? – спросил Сракандаев, пальцем отводя Степину газету.

Секретарша изумленно поглядела на Степу, потом – испуганно – на босса, потом опять на Степу.

– Я… – начал Степа, складывая газету, – я…

– Придется часик подождать. У меня одно дельце… Зоя, угости господина чаем, – сказал Сракандаев и прошел в кабинет. Степа успел заметить необычайно толстый дверной торец.

– Простите, – вставая из за стола, заговорила секретарша, – господин… э э э… А вы, собственно, по каком вопросу?

– По личному, – тоже вставая и пятясь к выходу, ответил Степа. – Одну секундочку. Пидараску в машине забыл… То есть, извините, барсетку.

Закрыв за собой дверь, он со спокойным достоинством дошел до ворот, у которых стояла будка с охранником, вышел на улицу и, легко, как во сне, понесся по улице вниз.
10 000

Степу восхищала принятая в восточной поэзии форма хайку. Их было очень легко писать – за триста долларов его обучил этому Простислав. Не надо было подыскивать рифмы, мучаться с размером. Достаточно было разбить спонтанно родившиеся в сердце слова на три строчки и проверить, не встречается ли среди них слово «километр». Если оно встречалось, надо было заменить его на «ли». После этого можно было целую минуту ощущать себя азиатом высокой души, что Степе очень нравилось, несмотря на косые взгляды Мюс.

Обдумав свой визит в «Дельта кредит», он сложил следующие строки:

Десять тысяч ли за спиной.

Иные птицы поют в ночи,

А грабли все те же.

Что это за иные птицы и десять тысяч ли, Степа сам не понимал, поскольку написал про них просто для красоты. Зато он хорошо знал, что это за грабли.

Пытаться выполоть ростки числа «43» было бесполезно, он понял это еще в те дни, когда расстреливал тарелки и кефирные пакеты у себя на даче, а потом увольнял меченых злом сотрудников. Лезть в нору Сракандаева было еще глупее. Вроде бы это было ясно. И вот он чуть не попал в расставленный самому себе капкан. Даже думать не хотелось, что за скандал случился бы, задержи его охрана Сракандаева для установления личности…

Правильный путь лежал в диаметрально противоположной стороне. Что делал Сракандаев, вешая у себя в приемной картину «Курская битва»? В полном соответствии с учением Бинги, он укреплял позиции того числа, которому служил (после визита в его офис никаких сомнений в этом у Степы не осталось). Следовало делать то же самое.

Степа был близок к верному решению, когда ему пришла в голову мысль переименоваться в «Гамма банк». Чем это кончилось, известно – из пустоты ему навстречу вывалился Ослик Семь Центов («Почему ослик? Ну почему? – в сотый раз подумал Степа, и в сотый раз повторил себе: – Не отвлекаться!»). Однако неудача с проектом «Гамма банка» не означала, что порочна сама идея – ее можно было воплотить в жизнь множеством способов.

Если «34» нельзя было спрятать в названии финансовой структуры, его можно было тайно вставить, например, в название телепередачи. Такое решение было значительно мощнее с энергетической точки зрения – высветить заветное число на экране было все равно что записать его огромными цифрами на небе.

После кропотливого просеивания вариантов Степа придумал нечто такое, чему приятно поразился сам. И чем больше он думал о своей новой находке, тем сильнее она его радовала. Но надо было спешить – времени оставалось в обрез.

Мюс дулась на него в последнее время, и он рад был лишний раз показать, как ценит ее помощь.

– Мюсюсь, – сказал он, – без тебя опять никуда. У Пикачу появилась идея новой телепередачи. Помнишь, нам один человек придумывал текст для стенда на Рублевке? Циничный специалист? Можешь его найти, киска? Возможен большой заказ. И, кстати, подготовь по нему самому информацию – дело такое, что надо знать, с кем работаешь.

Циничный специалист прибыл на следующий день. Ознакомившись со справкой, которую приготовила Мюс, Степа заранее проникся к нему смесью уважения и брезгливости, но впечатление от встречи перекрыло все ожидания.

Его звали Малюта. Это был здоровенный мрачный жлоб с жидкой ленинской бородкой (она казалась не просто козлиной, а именно ленинской оттого, что Малюта рано облысел). Одет он был в камуфляжные штаны и красную майку с закавыченной надписью:

«Ghostmodernizm Rulez!»

На первой минуте разговора Малюта потребовал аванс в десять тысяч долларов.

Степа хотел указать ему на дверь, но вспомнил, что в сочиненном недавно хайку присутствовала эта же цифра, взявшаяся непонятно откуда. Могло ли быть так, что числа посылали ему знак? Степа нажал клавишу селектора и попросил Мюс приготовить деньги. А затем предложил Малюте показать какие нибудь из своих работ.

– У меня такая профессия, – сказал Малюта, – что лучших своих работ я показать не могу. Хотя все их видели. Все делается строго конфиденциально. Поэтому у меня тут в папочке в основном экспортные проекты. Ну и болванки – просто чтоб ознакомить со спектром возможных услуг…

Степа открыл папочку и углубился в чтение.

Внутри было много всего, в том числе разработки PR концепций для Наполеона Бонапарта, Бату хана и прочих кровавых исторических фигур. Раздел под названием «Персидские мотивы» был посвящен вооруженному исламу. Он был большей частью на английском, так как предназначался, по словам Малюты, для богатых нефтяных арабов. Степа особенно выделил два слогана для Аль Каеды:

«Al Qaeda. People who care»25.

и

«Al Qaeda. Men in White»26.

Был и слоган для «Хамас»:

«Hamaz. All it takes is a gentle touch of a button!»27

Снизу была приписка карандашом: «Украдено CNN text». Кое чего из персидских мотивов Степа просто не понял, как, например, следующую рекламу виски:

«No matter what your journey is, keep walking!28

Johnny Walker Lyndh, Taliban USA.

The Green Label».

Степа поднял глаза.

– И чего, покупают?

– В Саудовскую Аравию со свистом уходит, – ответил Малюта. – Правда, не знаю, что они там с ними делают. Может, в гаремах на стены вешают.

– В Саудовскую Аравию? – недоверчиво переспросил Степа.

Малюта кивнул.

– Очень реальная клиентская база, – сказал он. – Нормальные люди, нам бы таких побольше. Я им даже апгрейд национального флага придумал. В оригинале пальма, а под ней две сабельки. А у меня эскиз есть, где вместо сабель скрещенные box cutters, в смысле эти разрезатели коробок. И выглядит современно, и национальный колорит сохранен…

– И чего они сказали?

– Я не показывал, – ответил Малюта. – Пока рано. А вот лет через пять, как обстановка дозреет, можно будет говорить. Вполне реальный вариант, между прочим.

Отдельное место в папке занимала полностью разработанная концепция болванка для политической партии крупных латифундистов под названием «Имущие вместе». Она включала моцартиански вдохновенный манифест на десяти страницах, назидательное обращение к согражданам, тезисы по работе с сельской молодежью и прочее. Насколько Степа мог судить, все было сделано очень грамотно. Особенно впечатляла центральная идеологема движения – «Семейные ценности». Степа даже не сразу понял. А когда понял, уважительно кивнул головой – это дорого стоило. Главное, такая гуманистическая идеология выигрышно смотрелась бы на международной арене, где никто и не понял бы, о какой семье речь.

Концепция включала визуальные материалы. Сильное впечатление на Степу произвел плакат, где озверевший бородатый чечен, похожий на молодого Карла Маркса, тянул загребущую лапу свастику к груди матери родины, которая держала на руках младенца с полными византийской грусти глазами. За спиной матери родины был сельско индустриальный пейзаж со свекольно алюминиевыми коннотациями. Усатый гренадер в кивере с двуглавым орлом втыкал в лапу чечена сине бело красный штык. Плакат пересекала тревожная кровавая надпись:

«Руки прочь от семейных ценностей!»

Был и другой вариант, где бородатый чечен с красным флагом, покрытым зелеными письменами, и гранатой в зубах пытался взобраться на сверкающую нефтяную вышку, но луч прожектора, которыми управляли бравые ребята в триколор трико, вырывал его зловещую фигуру из темноты (этот плакат Степе понравился меньше – он определенно был содран с одной из известных картин на тему «штурм рейхстага»).

Малюта разработал не только лозунги нового движения («Семейные ценности – это наше все!»; сокращенный, энергичный вариант – «Наше все!»), но и в общих чертах наметил, откуда исходит угроза миру:

«Конкретное наполнение образа врага будет обдумано позднее. В настоящий момент предлагается только название идентификатор „Козлополиты“ (вариант – „Лолиты и Козлополиты“), обеспечивающее такую же культурную преемственность, как и представленные визуальные решения, ориентированные на генеральную линию по активации „дремлющего“ подсознательного психосостава».

Еще через страницу Степа наткнулся на загадочный лист с рукописными строчками:

«Ветер в харю, Yahoo! – ярю».

«В папку „либеральные шествия“: баннер „За Е. Боннер!“»

«Человек рожден для счастья, как птица для полета! Чикен Макнаггетс» (вариант – «Фуа гра»).

«Тунец в собственном соку. Stay Tuned29! (украдено CNN news)».

– А это что? – спросил он, показывая лист Малюте.

– Так, – ответил Малюта. – Эскизы. Пока клиента ждешь, много полезного в голову приходит.

Степа остался доволен собеседованием. С таким человеком можно было не тратить времени на предисловия. Все же, чтобы произвести на Малюту впечатление своей осведомленностью, он заглянул в справочку, подготовленную Мюс.

– А правда, – спросил он, – что ты с самим Татарским работал?

Малюта перекрестился.

– Первый учитель, – сказал он. – Всем худшим в душе обязан ему. Только я из политики давно ушел. И не переживаю – денег меньше, зато черти не снятся. Так что этот старый пиардун никакого отношения ко мне теперь не имеет.

Степа начал объяснение издалека, потому что ему самому было не до конца ясно, какой должна быть задуманная им передача. Он твердо знал только ее название. Кроме того, после слов Малюты о Татарском он с самого начала хотел разъяснить, что к реальной политике проект отношения не имеет.

Усадив Малюту в кресло с орнаментом из разноцветных кружков (такой же паттерн был на всей мебели в офисе: три черных пятна, перекрывающих четыре красных кружка, и так – много раз на каждом метре обивочной ткани), Степа принялся излагать общие соображения, которыми Малюте следовало руководствоваться.

– Понимаешь, – сказал он, – страна долгое время производила гораздо больше политики, чем требуется для внутреннего рынка. А время такое, что не очень понятно, чем этим политикам заниматься и на кой они вообще нужны. С другой стороны, без политики тоже нельзя. Это как культура там, или футбол – убери, и сразу будет чего то не хватать. Так вот, есть идея, что политику следует постепенно перевести в спортивно игровую плоскость, где она будет шумно бурлить, никого реально не обижая. Понимаешь?

– Угу, – отозвался Малюта, и сделал пометку в блокнотике.

– В общем, надо, чтобы все тяжелейшие вопросы, которые будоражат сегодня русский ум, решались в легкой и юмористической манере, снимающей классовый антагонизм и межнациональные трения. Для этого нужно придумать пару мультимедийных героев, которые будут эти проблемы остро ставить и еще острее снимать. Цель – проложить в уме телезрителя первую борозду, вдоль которой он мог бы думать дальше, углубляя ее при каждом движении мысли… Я понятно говорю?

– Еще как. А имена у героев есть?

В кабинет вошла Мюс с плотно набитым конвертом в руках.

– Есть, – сказал Степа, взял у нее конверт и написал на нем два слова остро отточенным карандашом (чешский «koh i noor», правильная вещь).

– Вот они, – сказал он, протягивая конверт Малюте. – Таким же будет и название передачи.

Малюта прочитал название и хмыкнул.

– Все понятно, – сказал он. – Сделать можно. Но постмодернизм вообще то уже давно не актуален.

– Что это такое – постмодернизм? – подозрительно спросил Степа.

– Это когда ты делаешь куклу куклы. И сам при этом кукла.

– Да? А что актуально?

– Актуально, когда кукла делает деньги.

Степа решил, что это намек на его бизнес и на него самого. Он разозлился.

– Запомни, Малюта, – сказал он. – Медицина утверждает, что пидарасы бывают трех видов – пассивные, активные и актуальные. Первые два вида ведут себя так потому, что такова их природа, и к ним претензий ни у кого нет. А вот третий вид – это такие пидарасы, которые стали пидарасами, потому что прочли в журнале «Птюч», что это актуально в настоящий момент. И к ним претензии будут всегда. Понятно?

– Я понимаю, что вы хотите сказать, Степан Аркадьевич, – спокойно ответил Малюта. – Но мне кажется, что картина несколько сложнее. Есть еще более страшный вид пидарасов, четвертый. Это неактуальные пидарасы. Именно сюда относятся те пидарасы, которые выясняют, что актуально, а что нет в журнале «Птюч». Кроме того, сюда относятся постмодернисты. О чем я, собственно, и пытался вам сказать…

Степа понял, что с его сабелькой лучше не лезть в атаку на этот могучий пулемет, особенно при внимательно слушающей Мюс (не было сомнений, что она занесет все услышанное на одну из своих перфорированных карточек). Кроме того, он понял, что Малюта вряд ли хотел его обидеть, но если захочет, сможет легко.

– Ладно, – успокаиваясь, сказал он, – замнем для ясности… Ты, короче, не вычисляй, что актуально, а что нет. Все что надо я уже вычислил. Талант у тебя есть, это я вижу. Твори, как сердце скажет. Только тихо тихо.

– В каком смысле?

– Просьба ничего не разглашать. Коммерческая тайна.

– У матросов нет вопросов, – отозвался Малюта и как то странно поглядел Степе в глаза.

Ровно через три часа позвонил капитан Лебедкин.

– Я тебе зачем жизнь спас? – грозно спросил он. – Чтоб ты в политику совался?

– Я… – начал Степа.

– Да не ссы, – весело сказал капитан. – Шучу. Идея всем понравилась. Как раз о чем то таком думали, понимаешь, только нащупать не могли. Проект теперь курирую я. Так что сплотимся еще теснее. Если серьезно, Степ, придумал отлично. Выношу благодарность перед строем.

– Служу Советскому Союзу, – ответил Степа.

– Ты никогда так больше не говори, – серьезно сказал капитан. – У меня с юмором хорошо, а у других наших – нет. Подумают, что ты на присягу намекаешь. Кинут обидку, попадешь на лэвэ, тебе это надо? И это повезет еще, если на лэвэ. За честь офицера, Степ, вообще захуячить могут только так. И Малюту не грузи, что он к нам пошел, личная просьба. У него такая работа, что нельзя иначе.

– Понял, – ответил Степа.

– Ну как, приятная неожиданность? – хохотнул Лебедкин.

– Ничего особенно неожиданного в этом нет, – ответил Степа. – Но все как то очень внезапно, капитан…
ЗЧ

Проект был представлен Малютой через неделю после встречи. Степа читал его за столом в кабинете, усадив Малюту в принесенное из бухгалтерии низкое кресло, в котором любой посетитель выглядел глупым и маленьким – хотелось отплатить за пережитое унижение. На первой странице папки, по дизайну чем то похожей на документ из иракского отчета о вооружениях, весело сияли два слова:

Зюзя и Чубайка

Степа поежился от удовольствия, увидев эти имена. «34» сияло в них ясно и отчетливо, безо всяких вычислений, подтасовок и сепаратных договоренностей с самим собой. Русский язык действительно был могуч – он делал возможным маневр, соединявший в себе полную обнаженность с абсолютной маскировкой.

Малюта описал героев так:

«Зюзя, в тельняшке и кепарике, с грубо народным лицом, искаженным гримасой подступающего гнева, напоминает резиновый манекен для боксирования. Таким манекенам специально делают хари, вызывающие страх и естественное желание его преодолеть.

Чубайка, на чьей стороне немедленно оказываются симпатии зрителя и особенно зрительницы, – очаровательно улыбающийся хитрюга, одетый в безупречную черную пару с галстуком бабочкой».

Их роли Малюта увидел следующим образом:

«Первым в кадре появляется Зюзя, который работает чем то вроде канала народного самосознания. Он выговаривает накипевшее у всех на душе с предельной откровенностью, так что у зрителя аж дух захватывает. После того как захват духа произведен, в кадре оказывается Чубайка. Не ввязываясь в спор по существу, он отпускает беззлобно ироничный комментарий, рождающий в зрителе робкое понимание того, как следует думать и говорить, чтобы когда нибудь покинуть зону этого самого народного самосознания и быть принятым в ряды немногочисленных, но отлично экипированных антинародных сил».

Малюта сумел не только сформулировать то, что сам Степа представлял себе более чем смутно, но и написал несколько примерных диалогов, за которыми уже просматривались контуры будущей передачи. Поскольку это был только проект, Малюта не церемонился, включая своего внутреннего Зюзю на полную мощность. Было настоящим наслаждением наблюдать, как его внутренний Чубайка поднимал из окопа ствол и делал бедному Зюзе очередную дыру.

Степа заметил в тексте явное эхо недавней дискуссии об актуальности постмодернизма:

«Непонятно, Чубайка, почему либеральную буржуазию называют либеральной. Это носитель запредельно тоталитарной идеологии. Если разобраться, весь ее либерализм сводится к тому, что трудящимся разрешено в свободное время еб…ть друг друга в ж…пу».

На что Чубайка отвечал:

«Извините, Зюзя, но это большой шаг вперед по сравнению с режимом, который даже это считал своей прерогативой».

Иногда Зюзя брал верх в споре:

«Главная задача обработки нашего сознания, Чубайка, может быть сформулирована так: несмотря на то что нам разрешается думать только о деньгах, у нас ни на секунду не должен возникать главный вопрос по их поводу».

«Какой главный вопрос, Зюзя?»

«Вот, Чубайка, видите, насколько эффективно обрабатывается наше сознание».

Впрочем, Степа допускал, что это ему показалось, будто Зюзя взял верх, а у зрителей сложилось бы совсем другое мнение. В любом случае было видно – Малюта рубит фишку как капусту. Степа окончательно утвердился в этой уверенности после короткого спора, который произошел у него с Малютой по поводу следующего отрывка:

«У российской власти, Чубайка, есть две основные функции, которые не меняются уже много много лет. Первая – это воровать. Вторая – это душить все высокое и светлое. Когда власть слишком увлекается своей первой функцией, на душение времени не хватает, и наступает так называемая оттепель – ярко расцветают все искусства и общественная мысль…»

«Так что ж вы, Зюзя, воровать мешали? Не жалуйтесь теперь, что вас душат».

Степа поднял глаза на Малюту и сказал с раздражением:

– Чего? Когда это коммуняки воровать мешали? Кому?

– Вот, – с удовлетворением сказал Малюта, – работает.

– Что работает, дубина?

– Концепция. Вызывает эмоции.

Только тут Степа опомнился, все понял и стал читать дальше. С каждой строкой он испытывал к Малюте все большее уважение как к профессионалу. Тот на ходу улаживал такие проблемы, о существовании которых Степа даже не догадывался, и с балетным изяществом перепрыгивал пропасти, у которых заведомо не было дна.

Малюта использовал интересную технологию обращения с проклятыми вопросами. Надо было не отвечать на них, а разъяснять телезрителю, что возня вокруг этих тем не сделает счастливым никого. А человек – на чем предлагалось сделать акцент – имеет право на счастье.

«Задача проекта, – писал Малюта, – не разубедить телезрителя в том, что страной распоряжается компания жуликов (в настоящее время это представляется нереальным по причинам объективного характера). Задача в том, чтобы на ярких и запоминающихся примерах разъяснить, какое следует делать выражение лица, услышав разговоры на эту тему («Ой, Зюзя, ну как же вы надоели своим занудством… Посмотрите, на улице лето, птички поют. Неужели вас ничего не радует в жизни?»).

Прочитав этот абзац, Степа ощутил волну светлой энергии.

Он понял, что эти летние птички – те самые «иные птицы» из его хайку. «Запели, запели, – подумал он. – Как не спеть за десять тонн». Похоже, что числа были на его стороне: это, без сомнений, был знак.

– Аванс ты отбил, – сказал он, вставая из за стола и с удовольствием потягиваясь. – Начинаем работать всерьез.

– У матросов нет вопросов! – повторил свою присказку Малюта и тоже встал из своего позорного кресла.

– Я тут говорил с капитаном Лебедкиным, – сказал Степа, глядя на него со значением. – Знаешь такого?

Малюта кивнул головой. Он выдержал Степин взгляд, никак не показав своих чувств – если они у него были.

– Он теперь все это курирует. Бюджет, план, сетка… Так что крыша у нас над головой надежная – не протекает. Думай и пиши. Ничего не пропадет.

– У големов нет проблемов! – ответил Малюта.

Степа не знал, кто такие големы, но подумал, что это, наверное, те, кто дает матросам не вызывающие вопросов команды. Раз у одних нет вопросов, у других нет проблемов – все логично. Вот только одно было неясно – кто дает команды самим големам. Степа так до сих пор этого не понял, хотя был в бизнесе давно. Имелся и другой вопрос, примыкавший к первому, который тоже часто тревожил его душу: если миром управляют числа, кто же тогда распоряжается числами?

– Кстати, насчет Лебедкина, – нарушил течение его мыслей Малюта. – Я тоже вчера с ним общался. Есть хорошие новости – он говорил?

– О чем?

– Может, лучше он сам обрадует?

– Давай, не темни, – сказал Степа.

– Он еще одного спонсора привлек. Так что теперь бюджет ровно вдвое больше. Развернемся по настоящему.

– А что это за спонсор? – спросил Степа, которого охватила внезапная слабость, как перед первым толчком землетрясения, о котором еще не знает ум, но уже догадался инстинкт.

– Ослик семь центов, – сказал Малюта.

Инстинкт не обманул.

– Кто?? – фальцетом выдохнул Степа.

– Сракандаев из «Дельта кредита». Знаете такого?

– Слышал, – ответил Степа, садясь на стул, с которого только что встал.

– Вы чего, Степан Аркадьевич? Будто и не рады?

Степа пожал плечами.

– Они в нашу концепцию то не лезут? – спросил он непослушным ртом.

– Нет, – сказал Малюта. – Со всем согласны, удивительное дело. Только одна мелочь. Их специалисты поставили условие – чтобы название было не «Зюзя и Чубайка», а «Чубайка и Зюзя».

И правильно, так точней. Нам же Чубайку двигать надо, да? Вот пусть он первый и канает. Успели поменять в последний момент.

– Какой последний момент?

– Перед тем, как на самом верху утвердили… Степан Аркадьевич, вы чего? Вам воды? Эй, секретарша! Степану Аркадьевичу плохо! Секретарша!

Решение убить Сракандаева созрело в Степиной душе мгновенно, словно кто то выдвинул ее центральный ящик, положил туда написанный кровью протокол о намерениях и со стуком водвинул ящик на место. Проснувшись на следующий день после встречи с Малютой, Степа понял, что все уже решено. Сомневаться или переживать по этому поводу не стоило.

Стоило спешить. Если Бинга говорила правду. А пока что все указывало на это. Времени до дня рождения оставалось так мало, что он начал строить планы прямо в кровати.

Организовать дело через солидный канал он уже не успевал. А поручить его наспех найденному «профессионалу» было нельзя. Профессионал возьмет деньги, скажет, что у матросов нет вопросов, а потом раздастся звонок джедая Лебедкина. Оставалось одно – сделать все самому.

Это Степу не пугало – так оно было честнее. Кроме того, это могло быть и безопаснее. Кто подумает, что одну процентщицу замочила другая? Будут, как всегда в таких случаях, искать студента идеалиста в длинном пальто.

Выходной камуфляж, опробованный в «Дельта кредите», следовало доработать. К бороде добавились купленная на рынке черная ряса и скуфейка – так Степа называл про себя черный головной убор священнослужителя, похожий на бархатный шлем, хотя и не был уверен, что использует слово правильно. Там же был куплен большой нагрудный крест, сияющий водопроводной латунью. Школьный портфель из кожзаменителя сделал его облик окончательно правдоподобным. Кроме того, на вооружение были взяты старые часы «Луч» в квадратном металлическом корпусе и офицерские сапоги. Складывая все это в багажник автомобиля, Степа уже чувствовал себя преступником в международном розыске.

От страха он даже придумал, как взывать к подлинному божеству, ни на шаг не отступая от бессмысленного христианского канона. Делалось это так: сначала он обращался к тройке, бормоча: «Во имя отца и сына и святого духа!», а потом сотворял четверку посредством крестного знамения. Это действие он отработал на старухах, которые подходили к нему во время двух тренировочных вылазок в метрополитен. Важно было не ошибиться в последовательности и не перекреститься до того, как призывалась Троица (что то похожее, смутно припоминал он, делали во время черной мессы).

Когда проблема с одеждой была решена, встал вопрос об оружии. Всякие автоматы с глушителями, пистолеты с лазерным прицелом и прочие голливудские варианты Степа даже не рассматривал. Сначала он остановил свой выбор на длинном кухонном ноже из золингеновской

стали. На нем была маркировка, напоминавшая о рассказе Конан Дойля «Пляшущие человечки», что делало его подходящим для планируемого макабра. Однако по зрелом размышлении он решил, что это не годится – он вряд ли сумел бы зарезать человека ножом.

У него с давних пор хранился страшный сувенир – стреляющая ручка немецкого производства. Упаковка патронов тоже была – вместе с ручкой она лежала в коробке от сигар «Монтекристо». У патронов, похожих на окурки от дамских сигарет, были белые хромированные гильзы и пули со стальным сердечником. Несмотря на свои небольшие размеры, ручка была грозным оружием.

Степа опробовал ее на даче. С нескольких метров она насквозь пробивала железный горшок. Правда, были недостатки – во первых, выстрел был громким. Во вторых, ручку было неудобно держать, и отдача была болезненной. В третьих, она сложно перезаряжалась – ее надо было развинтить, вынуть стреляную гильзу, затем свинтить с новым патроном внутри и взвести спусковой механизм (на боку выскакивала тугая скобка курок). Это была длительная процедура. Но дело должен был решить один выстрел. Височная кость Сракандаева вряд ли была крепче пяти миллиметров железа.

Открыв шкаф в спальне, чтобы спрятать ручку в каком нибудь из пиджаков, Степа увидел обтянутую желтым шелком коробку, про которую уже забыл. В ней хранились три лингама победы, мистические ключи к дзенскому саду камней.

Степе в голову пришла неожиданная мысль.

Поставив коробку на стол, он вынул из нее один из продолговатых приборов, зеленый. Отверстие с торца казалось достаточно большим. Степа приставил к нему ручку, осторожно надавил на нее, и она исчезла внутри.

Однако вынуть ее оказалось непросто. Степа несколько раз махнул членом в воздухе, надеясь, что ручка выйдет из него под действием центробежной силы. Но она, вероятно, зацепилась за резину каким то выступом.

Степа начал мять член в руках, осторожно сгибая и сжимая его в разных местах, чтобы ручка вышла наружу. В этих движениях было что то настолько непристойное и одновременно возбуждающее, что на его губах появилась кривая улыбка.

Вдруг оглушительно хлопнуло – словно в руках у него взорвался воздушный шар. Степа увидел, что вместо священного лингама держит в руках что то похожее на съеденный до половины недозрелый банан. Разорванный выстрелом эзотерический инструмент превратился в резиновые лоскуты.

Пуля пробила ковер и ушла в пол. Степа даже не успел испугаться. Держи он член под другим углом, все проблемы могли решиться проще, чем он надеялся, хотя и совсем по иному. Но, глядя на зеленый огрызок в руке, он задумался не об этом. И даже не о том, что выстрел прозвучал тише, чем раньше.

Сракандаев не был человеком, которого следовало убить по бизнес необходимости. Для таких дел имелись специальные люди и методы. Сракандаев был мистическим врагом. Больше того, им

был даже не сам Сракандаев, а тот дух зла, который опирался на него и действовал сквозь его физическую оболочку. Степа собирался поразить именно этого духа. А для этого мало было огнестрельного решения а ля Муса и Иса. Степе нужен был не труп, ему нужна была победа над числом «43». Значит, следовало применить мистическое оружие, наподобие тибетского кинжала пурбы или освященной серебряной пули. Что могло сгодиться на эту роль лучше, чем священный лингам победы? Определенно, амитафинщиков послала судьба.

Степа взял из коробки другой лингам, взвел пустую ручку и аккуратно вставил ее внутрь. После нескольких минут экспериментирования выяснилось, что спуск безотказно срабатывает, если сильно сжать резиновый член посередине. Все остальные манипуляции были безопасны – можно было даже многократно ронять лингам на пол. Степа знал, что на резиноподобном пластике такого рода, скользком и чуть жирном на ощупь, отпечатки пальцев не остаются. Лучшего способа спрятать оружие не придумал бы и консультант Аль Каеды по западной психологии.

Возясь с лингамом, Степа снова обратил внимание на буквы, которыми он был исписан. Это была какая то стойкая краска – Степины пальцы не причиняли ей вреда. Осмотрев содержимое коробки в офисе, он решил, что это какой то восточный язык. Сейчас он понял, что буквы русские, просто сильно стилизованы под санскрит или что то в этом роде. Они складывались в странную фразу: «Ом Мама Папин Хум». Над «м» в словах «Ом» и «Хум» были нарисованы маленькие черточки, как над «й». У самого основания инструмента странная фраза была несколько раз записана другим почерком и латиницей: «Om Money Padme Whom», но стилизация под санскрит оставалась такой же тщательной. Лингам расписывало как минимум два амитафинщика. Видимо, начали делать экспортную версию, а потом подоспел Степин заказ, и пришлось переориентироваться на внутренний рынок.

Степа припомнил слышанное у Простислава. Кажется, подобные надписи делали на ритуальных предметах с целью отпугнуть злых духов. Слова «мама» и «папа» являлись, скорее всего, ритуальным обращением к мужскому и женскому принципам, «Инь и Ян». Или все было еще проще: ребята записали какое то восточное заклинание русскими звукосочетаниями, чтобы испугались подмосковные бесы, незнакомые с экзотическими языками.

«Скоро проверим, – подумал он, – на самом злом духе, который только есть».

Надев резиновые перчатки для кухни, он тщательно протер спиртом патрон, затем детали ручки. Собрав ручку, он взвел боевую пружину и осторожно вставил металлический стержень в лингам. Затем он вырезал из красного резинового плунжера, взятого в ванной, аккуратный кружок диаметром точно с основание лингама, пометил его поверхность невидимым числом «34» и приклеил кружок к основанию японским «superglue»30 из шприцеподобного тюбика. Получилось чудо как хорошо и аккуратно.

Проделывая эти операции, Степа ощущал редкий в последние месяцы душевный комфорт. Он совсем не думал об их конечной цели, словно занимался каким то безобидным хобби вроде выпиливания лобзиком. Завершив работу, он положил лингам и резиновые перчатки в портфель.

Портфель показался слишком легок – там, несомненно, должно было лежать что то еще. Подумав, он положил туда две книги – том «Добротолюбия» и «Братьев Карамазовых». Поразмыслив еще, он добавил банку сардин в оливковом масле, бутылку водки, походный несессер и смену белья.

Водочную бутылку Степа установил в неглубоком среднем отделении так, чтобы горлышко торчало из портфеля наружу, и у встречных с первого взгляда возникала покойная ясность относительно хозяина. Портфель убедительно распух, а водочное горлышко сделало его вид безупречным. Чтобы он не попался на глаза Мюс, Степа запер его в сейф. Затем он выкинул отходы производства – изрезанный плунжер, гильзу и вынутую из пола пулю.

Степа не очень хорошо представлял себе дальнейшее. Сначала он планировал подстеречь Сракандаева возле одного из ночных клубов, куда тот ходил. Но через несколько дней все решилось иначе.

Помог телевизор. Степа узнал из обзора театральных новинок, что Сракандаев вместе со своими богемными друзьями едет в Петербург на премьеру авангардной пьесы, о которой много говорили. Он был главным спонсором проекта, и в передаче его сравнивали с Дягилевым. Один из артистов назвал дату отъезда и даже номер поезда, в котором был «специальный театральный вагон». Приглашались все ценители нового русского театра. Степа не относил себя к их числу. Но такую возможность нельзя было терять – другой могло не представиться вообще.

В делах как раз было окно. Следовало только сделать первый взнос по «Зюзе и Чубайке» (Степа никак не мог поверить, что теперь это «Чубайка и Зюзя»), но это можно было поручить Мюс. Приготовив платежку, он попросил ее связаться с Лебедкиным, чтобы уточнить реквизиты и сумму.

– Пару дней меня не будет, – сказал он. – Максимум три.

– Куда ты едешь? – спросила Мюс.

– В Питер, – ответил Степа, зная, что лучше говорить правду обо всем, кроме самого главного. – У Простислава доклад в музее сновидений. На тему «„И Цзин“ и фехтование».

Мюс хмыкнула, но ничего не сказала.

Вечером они пошли ужинать в «Скандинавию». Обычно Мюс одевалась совсем просто, но в этот раз на ней было какое то удивительное платье, похожее на плащ без рукавов. Оно очень ей шло. Но за ужином Степа заметил на ее лице морщинки, которых не видел раньше. И антенны на ее голове уже не казались такими упругими и длинными, как прежде. Странно, но эти морщинки наполнили его сердце такой нежностью, что он почувствовал на глазах слезы. Чтобы Мюс не увидела их, он взял недокуренную сигару и отправился на балкон.

«Я совсем о ней не думаю, – размышлял он, глядя на людей в камуфляже, суетившихся во дворе. – Бедной девочке уже тридцатник, а кто она? Секретутка референт. Наверно, ей тяжело. Тем более что второй месяц общаемся исключительно по плану Маршалла… Или третий? Ох… Если все будет нормально… – при мысли о предстоящем деле Степа почувствовал волну липкого страха, – если все выгорит… Женюсь. Честное слово».

Пронзительный порыв ветра со стороны Кремля бросил пепел с сигары ему в лицо. Степа поежился.

«Заодно и паспорт английский сделаем», – подумал он, пыхнул последний раз дымом и пошел к Мюс, показавшейся в дверном проеме.

Отправив ее с шофером на дачу, он зашел на московскую квартиру. Портфель и камуфляж были уже здесь.

Первым делом Степа включил огромный вентилятор на черной штанге, напротив которого висел в стальном кольце раскрашенный деревянный попугай с распростертыми крыльями. Попугай вместе с вентилятором были привезены из Санто Доминго, где он купил их в бутике на главной улице – они располагались на том же расстоянии друг от друга, что и в магазине, в точности воспроизводя поразивший его эффект. У попугая с крыльев свисало множество бамбуковых трещоток, которые начинали раскачиваться, издавая при этом нежный, мелодичный и чуть грустный звук. Душе от этого становилось свободно и прохладно, как стало Степе много лет назад в струе воздуха от могучего винта, когда он вошел в магазин с раскаленной улицы. Ветерок и перестукивание трещоток всегда успокаивали его и, самое главное, каким то образом наполняли сознанием собственной правоты.

Тщательно приклеив бороду, он посидел в кресле с закрытыми глазами, перебирая приготовления в уме. Клей надо было взять с собой на случай, если бороду придется переклеивать – про это он раньше не подумал.

Надев рясу, он посмотрел на себя в зеркало. Степы там не было. Был священник неопределенного возраста. В его пегой бороде виднелась ранняя седина. Глаза выдавали скорбную сосредоточенность духа.

Священник подумал, что надо бы сразу взять ключи, чтобы не забыть их в пальто. Он шагнул к вешалке, сунул руку в один карман, потом в другой, и обнаружил пакет фисташек, которого там не было до похода в «Скандинавию».

– Мюс, – прошептал он и улыбнулся. – Мюс… Это ведь все для тебя. Чтобы я… Чтобы… Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…

Надо было спешить – поезд со Сракандаевым отходил с Ленинградского вокзала через час.

Степе достался билет на место 28. Этот номер не значил в его вселенной ничего, но его близость к числу «29» напоминала, какое опасное дело он затеял. Идти приходилось по самому краю пропасти. Но выбора не было. Каждый раз, когда решимость слабела, он шептал:

– Чубайка и Зюзя? Чубайка и Зюзя?

Поднимавшаяся в душе волна ярости заряжала аккумуляторы, и он чувствовал свежую ненависть и силу.

Поезд удивил его своей чистотой (он давно не ездил по железным дорогам). Пока он был единственным пассажиром в купе. Дождавшись, когда проводник проверит билет, он спрятал лингам под рясой и пошел в «театральный вагон». Там было шумно и весело, играла музыка. Степа сразу понял, в каком купе едет Сракандаев – напротив его двери маячил охранник.

Через час, когда Степа вернулся, в вагоне было еще веселее, но охранник стоял все там же. Стало ясно, что в дороге удобного случая не представится.

Зайдя в свое купе, Степа положил лингам в портфель и, чтобы снять стресс, отправился в вагон ресторан. Выпив две порции виски у стойки, он взял третью, сел за столик и уставился в телевизор под потолком. Шел фильм «Спайдермен». Фирменная запись прерывалась одним и тем же клипом – рекламой банка HSBC с толстым японцем в очках, который, шутливо пуча глаза, противным голосом пел под караоке в токийском баре:

– Спайдермен спайдермен, ра ра ра ра, спайдермен!

«Все таки я не самурай, – подумал Степа, чувствуя, как виски растекается по телу. – Самурай бы не нервничал. И елдак бы под рясой не прятал. Он бы ножом все сделал, из любви к искусству. И охранника бы тоже чикнул…»

Некоторое время он думал о японце из клипа, который произвел на него гораздо более сильное впечатление, чем сам фильм, виденный раньше. Показанный японцем трюк был круче цифровых прыжков с крыши на крышу. Всю жизнь вкалывать на бессмысленной работе, сжигая ежесуточные полчаса свободного времени на то, чтобы зайти в караоке бар, растянуть лицо в добрую улыбку и спеть про «спайдермена» – для этого нужно было такое мистическое бесстрашие, по сравнению с которым все подвиги камикадзе казались детской комнатой. Кто это говорил, что в открытом обществе исчезает героизм? Сорос, что ли? Наоборот, подумал Степа, кроме чистого героизма там вообще ничего не остается.

Когда он вернулся в купе, там сидел попутчик, вошедший на одной из остановок. Это был коротко стриженный молодой человек с лицом, в котором сквозило что то монголоидное. Одет он был в черное. На столике у окна стояла плоская фляжка водки, бутылка минеральной воды и стакан. Вежливо поздоровавшись со Степой, попутчик кивнул на фляжку:

– Не желаете на сон грядущий?

– Благодарю, – сухо ответил Степа, лег на свое место и мысленно обматерил себя за то, что оставил портфель в пустом купе.

Попутчик вел себя беспокойно. Сначала он принялся ужинать и долго шуршал каким то свертком, распространявшим по купе запах сырого осеннего леса и подмокших грибов. Выпив водки, он надел наушники, и до Степы сквозь стук колес стали долетать искаженные обрывки музыки.

Проснулся Степа от того, что кто то трогал его за плечо. В купе было полутемно – горела только тусклая оранжевая лампочка ночник.

И еще глаза попутчика.

Степа глянул на свой портфель – цел ли. Портфель благополучно висел на крючке в ногах. Он поглядел на столик. Фляжка с водкой была пуста. Сколько прошло времени, он не знал.

– Извините ради Бога, – заговорил попутчик, – вы, наверно, уже спали…

– Признаться, не без того, – ответил Степа. – Чем могу?

– У меня к вам просьба. Но я даже не знаю, как ее высказать, – мне очень неловко.

– Не стесняйтесь, – сказал Степа.

– Так редко случается встретить духовное лицо. Нельзя ли с вами чуть чуть пообщаться? Мне очень нужно.

– А нельзя подождать до утра? – спросил Степа.

– Но мысли ведь не ждут, – возразил попутчик. – Они, знаете, туда сюда, туда сюда, – он показал руками. – Как волны в шторм. А пловец – ты. То есть в смысле я. А вокруг такие скалы, такие рифы… Я уже час на вас гляжу и думаю – позвать на помощь? Будить? Не будить?

В его быстрой жестикуляции было что то такое, из за чего Степе не захотелось перечить. Он уже понял, что наряд накладывает на него определенные обязательства, примерно как халат врача или милицейская фуражка. Осторожно переместившись в полусидячее положение, он спросил:

– И что же вас тревожит?

– Я издалека, ладно? Чтоб вы поняли, где меня искать.

– Ладно, – сказал Степа. – Попробуем найти.

– Вот скажите, почему, к примеру, распался и исчез Советский Союз? Как вы думаете?

Степа пожал плечами.

– Промысел божий, – сказал он.

– Да, промысел божий, согласен. Но как он проявился в измерении человеческой души?

Степа снова пожал плечами.

– Не спешите, я попробую ответить. Что делали советские люди? Они строили коммунизм. Сначала казалось, что он наступит после революции. Потом эта дата стала отъезжать все дальше, и вскоре стала чем то вроде горизонта. Сколько к нему ни иди, он все равно там же, где был. И тогда, в качестве последнего рубежа, датой наступления коммунизма был объявлен восьмидесятый год. Мы полетели к нему сквозь космос, под руководством КПСС, с песнями КСП, и, пока хоть осколок этой веры был жив, весь мир дрожал и удивлялся. Но в восьмидесятом году окончательно выяснилось, что вместо коммунизма будет Олимпиада. Все вокруг, как рассказывают современники, еще казалось железным и несокрушимым. Но всего через несколько лет это несокрушимое железо рассыпалось само. Именно потому, что исчез горизонт. Из материи ушел оживлявший ее дух. Стало некуда идти, понимаете?

– Понимаю, – сказал Степа. Он решил говорить как можно меньше.

– Вы спросите, при чем здесь вы? Сейчас объясню. Вам не кажется, что есть прямая параллель между коммунистическим и христианским проектами? В том смысле, что оба существуют в исторической перспективе, и с течением времени их содержание выцветает, потому что исходная метафора видится со все большего расстояния? А в поле зрения каждый день попадает что то новое. Чтобы быть христианином или коммунистом, надо каждое утро загружать в сознание громоздкий концептуальный аппарат, идеи которого были сформулированы в точке, уплывающей от нас все дальше. В этом их отличие от недоступного интеллекту закона Будды, дворцом и скрижалью которого является настоящее мгновение времени! С другой стороны, христианству тоже негде существовать, кроме как в одном из комнат этого дворца. Вот потому то мы, тантристы агностики, и говорим, что Будда – это в том числе и Христос, и Кришна. Но не только. Понимаете?

– Не до конца, – честно сказал Степа.

– Ну посмотрите. Вы, наверно, изучали в семинарии решения пятнадцатого съезда КПСС и сравнивали их с решениями шестнадцатого. Но уже тогда было ясно, что не будет, например, четыреста сорок третьего съезда КПСС. Сама эта цифра свидетельствовала о банкротстве проекта. И точно так же вряд ли наступит пятитысячный год от Рождества Христова, согласны? Когда этот год придет, его наверняка будет обозначать какое нибудь другое число, куда более короткое, отсчитываемое от иной даты. Но мгновение, в котором это произойдет, будет тем же самым, что и сейчас. А это и есть дворец изначального Будды!

– Всяко может быть, – ответил Степа.

– Да, конечно. Вы хотите сказать, что формально у прихода Христа нет четкой даты. Но в христианстве, согласитесь, был своего рода эстетический и эсхатологический контур временной перспективы, в которой разворачивался проект. Это millenium, тысячелетие. Был один millenium. Ждали, ждали – никто не пришел. Был другой millenium. Ждали, ждали – не пришел. Теперь третий. Понятно ведь, что пятого не будет? Христианство, только не обижайтесь, давно проехало свой восьмидесятый год. Уже вовсю идет Олимпиада, понимаете? Чем больше проходит времени, тем меньше остается смысла в словах забытого языка, связанных синтаксисом, из которого давно испарилась жизнь. К тому же мне вообще не верится в существование святых книг.

– Вот это вы зря, – проворчал Степа, чтобы его покладистость не казалась подозрительной.

– Как? Вы не согласны? Но позвольте, слова всегда дуалистичны, субъектно объектны. Разве нет?

Степа пожал плечами.

– Они способны отражать только концептуальное мышление, а там истина даже не ночевала. Слова в лучшем случае могут попытаться указать направление, и то примерно. Но можно ли считать святыней стрелку указателя с надписью «До святого один километр по воде босиком»? Или ржавый памятный знак с надписью «Здесь было чудо»? Священным, мне представляется, может быть только то, на что указывает стрелка! А?

– На все воля божья и промысел, – сказал Степа и перекрестился.

Попутчик хлопнул себя по ляжкам.

– Вы удивительный собеседник! – воскликнул он. – Молчун, а бьете в суть! Конечно. Я, как тантрист агностик, понимаю это лучше других: дело в том, что поистине нет ничего такого, на что стрелка могла бы указать. Потому понятие святости можно применить только к самой стрелке. Его просто некуда больше повесить, ха ха ха! – Попутчик отбил ладонями по своему телу и ногам энергичную чечетку, от которой Степе захотелось выскочить в коридор. – Само понятие святости – тоже из области концепций, в которых путается заблудившийся ум! Поэтому в святом нет ничего святого, ха ха ха! И в том, что все обстоит именно так, можно увидеть промысел, да, вы тысячу раз правы. Но это очень тонкий аргумент, которого не поймет почти никто. Как приятно говорить с таким человеком! Давайте ка за это выпьем! Я знаю, у вас есть в портфеле.

– Откуда знаете? – напрягся Степа. – Что, успели слазить?

– Что вы! Просто горлышко торчит. Я на него уже час смотрю, если честно. То на него, то на вас. Я бы в вагон ресторан пошел. Но боюсь из купе выходить, сильно колбасит. Потеряюсь в пространстве. А не в пространстве, так во времени.

– Вам водки, – сказал Степа, поднялся и снял с крючка портфель. – Сейчас… Вот, пожалуйста.

– Спасибо, – сказал попутчик. – Очень кстати. А то меня, если честно признаться, еще и плющит. А от этого ночью только водка помогает…

Степу настигло омерзительнейшее озарение. Как он только не понял раньше? Попутчик наверняка нес всю эту пургу, лежа на двадцать девятом месте. Ведь двадцать восьмое было у него самого! Тогда, конечно, тогда чего удивляться… Полной уверенности, правда, не было – номеров он не проверял. Но интуиция подсказывала, что все именно так. Степа незаметно вынул из портфеля лингам и положил его рядом с собой, прикрыв одеялом.

«Бросится – застрелю», – подумал он.

Отвинтив пробку, попутчик налил себе полстакана, выпил и виновато посмотрел на Степу.

– Плющит, – жалобно повторил он непонятное слово. – А сами?

– Благодарствуйте, – ответил Степа. – Я бы отдохнул.

Получив бутылку, попутчик забыл о теологических вопросах. Опять раздалось кваканье музыки в наушниках, а через короткое время – бульканье. Степа несколько успокоился. Попутчик слушал музыку так громко, что можно было узнать песню – «Besa me Mucho». Она показалась Степе малоросской жалобой на мучающих душу чертей – в пору было начать подвывать. Отвернувшись к стене, он стал думать, как опасно теперь ездить по железным дорогам и какие жуткие люди рыщут в потемках за границей обеспеченного мира. Потом он снова заснул. Сквозь сон до него доносилось тихое бормотание, словно попутчик шепотом начитывал однообразные стихи на незнакомом языке.

Когда он проснулся, было уже утро. Попутчик стоял у двери, одетый, с сумкой на плече. Выглядел он на удивление свежим.

– Мне сходить, – сказал он. – Спасибо, вчера очень выручили. Вы по настоящему добрый и сострадательный человек. А это важнее любых умствований.

– Храни вас Господь, – ответил Степа.

– Я только одну вещь хотел добавить. Мне не хотелось бы оставить у вас ощущение, что я метафизический пессимист. Совсем нет! Абрахамические религии уходят, это верно, хотя ислам еще долго будет сотрясать наш мир. Но трагедии в этом нет, потому что следом придет новый мессия. И это, попомните мои слова, будет будда Майтрея!

– Придет Христос, придет и Антихрист, – угрюмо повторил Степа слышанную недавно по телевизору фразу.

– Вот вы как… Ну извините, не хотел обидеть, – сказал попутчик и посмотрел куда то в район Степиного живота.

Степа вдруг понял, что так и держит под рукой красный лингам – понял по лицу попутчика.

– Возможно, в чем то ошибаюсь я, в чем то вы, – сказал тот, внимательно глядя на расписной протуберанец, торчащий из под Степиной ладони. – Но мне кажется, что мы, люди духа, своими поисками истины не только искупаем ошибки друг друга, но и создаем ту сумму добра, которая, хочется верить, перевесит в конечном счете всю мерзость современного человечества…

Попутчик сделал странный жест – на секунду скрестил перед лицом руки, щелкнув при этом пальцами, словно подзывал двух официантов, стоявших у него за спиной.

– Пускай же все мысли в потоке вашего сознания и все иллюзорные материальные объекты вокруг вас приносят живым существам только радость и оберегают их от зла! – сказал он. – Ом свабхава шудхо сарва дхарма свабхава шудхо хан! Пожелайте мне того же. Еще раз спасибо, и прощайте.

Степа ничего не сказал, только закрыл глаза. Когда дверь за попутчиком захлопнулась, он некоторое время урчал и взвизгивал, дожидаясь, пока утихнет чувство позора.

Утихло оно быстро – сказался многолетний опыт бизнеса. Степа положил лингам в портфель, лег на бок и провалился в беспорядочный железнодорожный сон, куски которого налезали друг на друга.

Сначала приснилось, что он, в акваланге и резиновом костюме для подводного плавания, висит под водой в клетке вроде тех, в которых кинооператоры прячутся от акул. Вокруг клетки плавала золотая рыбка из «Якитории», только во сне она была размером с хорошую касатку. Степа знал, что клетка защищает его не столько прутьями, сколько цифрами «34», нарисованными флуоресцентной краской на табличках, висящих по ее бокам.

Глаза золотой рыбки, огромные, как тарелки из оркестра судьбы, иногда оказывались возле Степиного лица, и тогда ему становилось страшно, потому что рыбка была сильно возбуждена.

– Не, брат, – говорила она, – если бы я знала, ни за что на свете не вписалась бы.

– Извини, пожалуйста, – уговаривал Степа. – Я и сам не знал. Ведь кончилось хорошо?

– Хорошо? А вот это ты видел? – Золотая рыбка скосила глаз в сторону дергающегося грудного плавника. – Думаешь, это я им шевелю? Это он сам!

– Извини, – повторил Степа. Больше ему нечего было ответить.

– За тобой должок. Понял, нет? – сказала рыбка голосом джедая Лебедкина, развернулась и уплыла в синие глубины.

Степа поплыл следом и вскоре выбрался к чердачному окну на романтической крыше. В небе сияла круглая луна, а за окном спал Сракандаев, которого следовало убить до того, как он проснется. Рядом был кто то еще, кого он никак не мог разглядеть. Сначала Степа думал, что это золотая рыбка, и луна – просто ее глаз. Но когда этот кто то сунул руку ему под рясу и схватил его за член, стало ясно, что это не рыбка.

Во сне было трудно сказать, за какой именно член его схватили – то ли за священный лингам победы, то ли за его собственный. Но путаницы у Степы не возникло, потому что в том измерении, где он находился, это было одно и то же. Когда он это понял, стало ясно и другое: чтобы увидеть нахального приставалу, надо заглянуть в зеркало. Замирая от жуткого предчувствия, Степа приблизил лицо к пыльному стеклу слухового окошка.

Предчувствие не обмануло.

Перед ним стоял мультимедийный герой Пидормен. Он был одет в трико с буквой «Q» на груди и розовый плащ с галунами, а на его лице была дивной красоты венецианская маска. Пидормен вскинул свободную руку в приветствии, и Степа заметил на его плаще блеснувший под луной значок с американским флагом. У Степы отлегло от сердца – он понял, что бояться нечего.

– Кто ты? – шепотом спросил он.

– I'm your neighbourhood friendly Queerman31, – ответил Пидормен.

– Говори тише, – прошептал Степа, – разбудишь гада. Почему ты стал таким?

– Когда то я был такой же, как ты, – прошептал Пидормен. – Но однажды меня укусила божья коровка… Вот подожди, тебя тоже укусит.

– Чего ты хочешь? – шепотом спросил Степа.

Вместо ответа Пидормен снова потянул Степу за лингам.

– Не надо, – попросил Степа, но Пидормен не послушал и потянул в третий раз. Степа с ужасом понял, что больше не может контролировать ситуацию. Он несколько раз передернул ногами, и лингам выстрелил.

Пидормен, сделав испуганное сальто, унесся на брызнувших из запястий белых струях куда то вниз, в горящие неоном джунгли наслаждений. Двигался он быстро, но Степа успел увидеть на его трико овальный вырез, открывавший ягодицы.

Все было кончено – выстрел разбудил Сракандаева. Тот постучал по стеклу изнутри.

– Приехали! – крикнул он.

Степа открыл глаза, и понял, что кричит не Сракандаев, а проводник в коридоре.

– Приехали! – повторил тот и снова постучал в дверь. – Петербург!
0034

Степа провел день в гостиничном номере. У него было мутно на душе. И не только из за надвигающегося дела – было непонятно, почему сновидение такого рода вызвало у него мужскую слабость. «Неужели и я в душе пидор? – думал он. – Нет, только не это!»

Большую часть дня он проспал. Ему снились обычные петербургские сны – сначала липкая темнота, в которой ничего не было, а потом холодная мгла, которая все сгущалась и сгущалась. В шесть вечера он принял душ, проверил боевое снаряжение, заново приклеил бороду и облачился в рясу.

Спектакль начинался в восемь в зале на Петроградской. Билетов в кассе уже не было. Покрутившись на улице, Степа нашел билет за двести долларов.

– Скидка для вас, батюшка, – сказал спекулянт, – так они по триста пятьдесят идут. Помолитесь за меня.

– Во имя отца, сына и святого духа, – пробормотал Степа и сотворил небольшую четверицу.

Народ на премьеру собрался, со Степиной точки зрения, самый противный – богема. Люди толпились у стен, на которых были развешены картины: в фойе проходила выставка современного искусства.

Одна картина, почти до потолка высотой, называлась «Мадонна на фронте». Она изображала певицу в пустыне, среди толпы морских пехотинцев в костюмах полной химической защиты. Мадонна танцевала на крыше вездехода «Humvee», окрашенного в желто коричневые цвета. Вокруг ее бедер был обернут американский флаг, а грудь скрывало нечто вроде бюстгальтера из снарядных головок, соединенных между собой стальным «пасификом». По бокам вездехода стояло два адвоката, консультативные стилисты по патристике, антибуржуазности и нонконформизму, вагинальный биомассажист, пресс секретарь, повар и четыре охранника – все

тоже были в костюмах химзащиты, но кто они, было понятно из сделанных на холсте подписей со стрелочками. Мадонна, как всегда, выглядела молодо и актуально.

Следующее полотно называлось «Битва за сердца и умы» (автором был тот самый Лукас Сапрыкин, одну из работ которого Степа видел в офисе Сракандаева). Жанр был обозначен как натюрморт. На этот натюрморт было тяжело смотреть. Сердца, за которые происходила битва между стоящими в песке телевизорами, были разложены на длинном деревянном прилавке. Над ним висела туча сине зеленых мух, а облепленные песком куски умов валялись на земле среди снарядных воронок. Но тяжело Степе стало не из за мух и крови, а из за кучи кала на проигравшем битву телевизоре и голого человека в маске Бэтмана, перелезавшего через забор на заднем плане.

Степа подумал, что человеку в рясе не пристало долго стоять рядом с такими картинами, и отошел к буфету. Заняв наблюдательную позицию, с которой просматривался вход, он стал изучать программку.

Пьеса называлась «Доктор Гулаго» и позиционировалась как трудный первенец российской гей драматургии («Первый блин гомом», – шутил неизвестный рецензент). Ее авторами значились «Английские драматурги» (49%) и Р. Ахметов (51%). Действующими лицами, в числе прочих, были Джеймс Бонд, доктор Гулаго, Два Королевских Батлера (так, кажется, назывался английский мажордом) и Царственный.

Дочитав программку до конца, Степа понял, откуда взялось такое распределение творческого вклада: хоть контрольный пакет находился у Р. Ахметова, все слова Бонда были взяты из пьес английских драматургов. Кроме Шекспира, в их длинном списке Степа не знал никого. Другой странностью было то, что вместо первого и второго действия пьеса состояла из «активного акта» и «пассивного акта».

Сракандаев с большой компанией появился, когда спектакль уже начался, и Степа прошел за ними в зал. У Сракандаева оказалось место перед самой сценой. Степа устроился на откидное сиденье, с которого был виден первый ряд, и стал смотреть пьесу, стараясь не терять Сракандаева из виду.

Сюжет основывался на том, что между президентами России и США существовала сверхсекретная линия связи, неподвластная электронному наблюдению со стороны транснациональных масонских структур. Послания, где два лидера обменивались подарками и записками, в которых только и могли высказать все, что действительно думают о жизни, доставлялись на собачьих упряжках через Берингов пролив, и практически никто в мире не знал об этом канале, так называемой «холодной линии». Никто, кроме доктора Гулаго.

Его план был циничен и жесток – он собирался перехватить набор матрешек, который русский президент посылал своему американскому коллеге, и заменить его пакетом корма для мартышек. Оскорбленный до глубины души Буш, по расчетам доктора Гулаго, должен был начать ядерную войну, не дожидаясь следующей собачей почты. Такова была интрига.

Во время первого акта Бонд охотился за злодеем по всей сцене, но поймать его было непросто – доктор Гулаго умел принимать вид других действующих лиц. Кроме того, он мог окружать себя туманом. Этот туман, подсвеченный десятком лазерных указок, в изобилии стекал в зал со сцены,

на краю которой было выставлено несколько лотков с сухим льдом. Параллельно шпионской интриге развивалась и любовная, завершившаяся натуралистичной сценой: Бонду удалось соблазнить мужеподобную помощницу доктора Гулаго, которая в экстазе выдала ему секретное обиталище доктора, ледяную избушку посреди Берингова пролива.

Вскоре Бонд в бобровой парке от Кензо уже подъезжал к ледяному домику на упряжке из десяти белых бультерьеров. Еще несколько минут, и доктор Гулаго с демоническим хохотом пал в борьбе, разбрасывая по сцене пенопластовые блоки, изображавшие лед. Цивилизация была спасена. Но без спецэффектов это выглядело убого и оставляло открытыми много проклятых вопросов, которые в фильмах обычно удавалось обойти. Кроме того, было непонятно, чем автор собирается заполнить второй акт – все негодяи были обезврежены уже в первом.

Перерыв объявили очень интересным способом – на сцене появился человек в костюме химзащиты и закричал в мегафон голосом, искаженным мембраной:

– Anthrax!!32

Во время антракта приблизиться к Сракандаеву не было никакой возможности: он сразу ушел за кулисы к актерам. На место он вернулся только тогда, когда поднялся занавес, и начался второй акт, «пассивный».

Он проходил в другой декорации. Над сценой висела лиловая лента с надписью «United Queerdom». Под ней стоял настоящий «Астон Мартин» модели «Vanquish 12», как у Сракандаева, только без мигалки. За ним покачивалось на сквозняке полотнище с огромным белым лотосом. Остальное пространство занимали леса, изображавшие многоэтажный интерьер, где происходило зыбкое сновидческое действие.

Собственно говоря, действия во втором акте почти не было – он состоял из танцев цветных фигур в нишах многоярусной конструкции. Танцы сопровождались монологом Бонда. Он пафосно говорил о вечных истинах (английские драматурги, догадался Степа), а три видеопроектора, установленные в нишах декорации, демонстрировали танцующим фигурам фрагменты его подвигов. Степа узнал отрывки из фильмов «Moonraker» и «Live and let die». Иногда Бонд почему то сбивался на глуповатые частушки вроде:

Скиньтесь, девки, по рублю

На могилку для «true blue»!33

Это были явно не английские драматурги, а Р. Ахметов. Степе понравилась виртуозная игра освещения – сцена по очереди становилась то зеленой, то красной, то синей, и разноцветные фигуры в нишах издавали протяжные крики, пугавшие притихший зал.

Вдруг свет погас. Это произошло вне всякой связи с действием, и Степа решил, что отключилось электричество. Но через минуту сцену осветило оранжевое мерцание, и стало видно, что декорация изменилась. Над сценой парил огромный череп с похожим на пещеру открытым ртом.

Изо рта бил свет – за ним виднелся помост, убранный восточными коврами. Со стороны зала ко рту вела лестница, похожая на авиационный трап. Бонд неподвижно лежал на полу – кажется, он был без сознания.

Раздались звуки жуткого распева – не то тибетского ритуала, не то какого то северного камлания. С противоположных концов сцены к Бонду двинулись две темных фигуры в венецианских масках (увидев маски, Степа похолодел). Это были Два Королевских Батлера. Подойдя к Бонду, они подхватили его под руки и повели по лестнице вверх. Добравшись до рта пещеры, они слаженными движениями развернули его лицом к залу и опустили на четвереньки.

Степа увидел человека в покрытом вмятинами шлеме с синим плюмажем, похожим на струю дыма. Он очень медленно и плавно перемещался по убранному коврами помосту, словно перетекая из одной позы в другую. Кроме шлема, на нем была военная майка и камуфляжная мантия с черной надписью «NEBUCHADNEZZAR». Степа вспомнил, что так звали древнего царя, и догадался, что это Царственный. Подойдя к Бонду, Царственный остановился, сложил пальцы в замысловатую мудру и, что то восклицая, несколько раз ударил его бедрами в зад, а затем победительно толкнул ногой. Бонд обрушился по лестнице вниз, и свет снова погас.

«Навуходоносор, – думал Степа в темноте, – это на принца Чарльза намек. Так протестанты Карла Первого обзывали перед тем, как голову отрубить. Про это еще у Дюма было в „Двадцать лет спустя“. А недавно, Мюс рассказывала, у них какого то мужика изнасиловали во дворце, и батлеры как раз участвовали… Но почему тогда рыцарский шлем? Принц Чарльз ведь не военный… Или как раз для того шлем и все остальное, чтобы формально нельзя было сказать, что это принц Чарльз? Мол, Царственный, и все тут. А то у него, небось, тоже три адвоката в противогазах. Как у Мадонны…»

Современное искусство, как всегда, было малопонятным и не особо аппетитным. Но Степу поразило то, как двигался Царственный, – его шаги, похожие на замедленный танец, вызывали неподдельный страх. Что то подобное Степа видел в фильме «The Cell», когда огромная женщина культурист несла бесчувственную Дженифер Лопес на суд национального подсознания.

Когда свет зажегся, ни Царственного, ни Королевских Батлеров на сцене не было. Вернулась прежняя декорация – «Астон Мартин» и многоярусная конструкция, только из ее ниш исчезли разноцветные фигуры. Бонд по прежнему лежал на полу.

Придя в себя, он кое как встал на ноги, поправил бабочку, подошел к краю сцены и долго вглядывался в зал, словно «ища человека». Затем он тихо и страшно спросил:

– Do they take me for a simpleton?34

Внезапная смена языка произвела впечатление – по Степиной спине пробежали мурашки. Это явно был не Р. Ахметов, а английские драматурги.

Бонд забрался в «Астон Мартин» и произнес оттуда последнюю часть своего монолога, минорную, упомянув какую то «слишком тугую плоть» и гниль, поразившую Датское королевство.

«Всюду эта политкорректность, – подумал Степа. – Скоро ни одну вещь нельзя будет назвать своим именем».

Оглушительно заиграла песня Меркьюри «Show must go on», и заработал поворотный круг. Бонд, раскорякой стоя в «Астон Мартине», уплыл за кулисы, въехав прямо в нарисованный на них белый лотос. Представление кончилось.

Раздался шквал аплодисментов. Степа не хлопнул в ладоши ни разу – пьеса показалась ему отвратительной. Бонд всегда был для него героем занимательного комикса и симпатичным малым. Было загадкой, почему Сракандаев и многие другие до такой степени радовались его унижению, что аплодировали стоя. Кроме того, Степа не знал, как объяснить висевшую над сценой надпись «United Queerdom» – то ли это дурацкий гэг, то ли ножка буквы «n» потерялась в складках ткани, и стало казаться, что это «r».

Может быть, думал Степа, это порыв квасного патриотизма, вызванный тем, что англичане не выдают нам чеченских эмиссаров? Компенсация за десятилетия национального позора и деградации? Или, наоборот, зрители узнали в прозрачной метафоре судьбу русского человека, посвятившего жизнь Отчизне?

Видимо, последнее было ближе всего к истине – протискиваясь к выходу вслед за Сракандаевым, Степа ловил обрывки чужих разговоров:

– Все как у нас… Человек всю жизнь горбатится на страну, а что потом имеет? Это самое и имеет…

– Да, есть параллели. Только у них все как то цивилизованней… Опять же, Гольфстрим…

«Но при чем тут Бонд? – думал Степа. – Глупо, пошло и глупо. Правильно кто то говорил, что вся наша культура – просто плесень на трубе. Которая существует только потому, что нефть нагревают. Причем нагревают ее совсем не для того, чтобы расцветала плесень. Просто так ее быстрее прокачивать… Что за люди… Впрочем, это же гей драматургия. Чего еще ждать от пидарасов…»

Тут он вспомнил, что за человек он сам, почему он в этом зале и зачем у него в портфеле лежит мистический жезл смерти. По его спине прошел холодок. «Спокойно, 0034, – подумал он, – спокойно. Поздняк метаться. Live and let die»35.

Сракандаев отправился в ночной клуб «Перекресток», который располагался прямо напротив театра. С ним остались два богемных персонажа (один в штанах, раскрашенных под шкуру жирафа, второй в свитере с изображением Лары Крофт) и молоденький морячок в бушлате, непонятно как прибившийся к их компании. В клубе их ждали – навстречу вышел администратор, который провел их внутрь.

Степу не ждал никто, и ему в первый раз за много лет пришлось встать в очередь. Он мерз в ней около часа, поглядывая на загадочно мигающее зеленым неоном слово «Перекресток» и

непонятное «anno homini MMIII», вырезанное на бронзовой пластине над дверью. Наконец его впустили.

Рядом со входом был металлодетектор вроде тех, что стоят в аэропорту. Увидев Степу, фэйсконтролеры немедленно попросили его пройти через штангу. Как только машина зажужжала, к нему подошел старший охранник, похожий на испитого Клинта Иствуда, и повел его в комнату для персонала. Обшарив Степу ручным металлоискателем (пришлось даже задрать рясу), Клинт Иствуд велел открыть портфель.

Сунув туда руку, он достал банку сардин, осмотрел ее и положил назад. Затем вынул «Добротолюбие» и пролистал его, задержавшись над одной из страниц почти на полминуты. Следом его худые нервные руки извлекли из портфеля священный лингам победы. Клинт Иствуд провел по нему пальцем, а потом поднял глаза на Степу.

Весь стыд, доступный человеку по этому поводу, был уже пережит Степой в поезде. К тому же он помнил, что лучшая оборона – это наступление.

– У меня еще один есть, – сказал он и пристально поглядел охраннику в глаза. – Хошь потрогать? Только осторожно, он весь в мозолях…

Клинт Иствуд отвел взгляд и положил лингам на место.

– Вопросов нет, батюшка, – сказал он, подавая портфель Степе. – Желаю счастливого отдыха.

Побродив по переполненному залу, Степа нашел одноместный столик недалеко от сцены.

Интерьер клуба напоминал аквариум. В полутьме горело несколько разноцветных софитов; мимо столиков проплывали официантки в платьях, на которых были вышиты большие пучеглазые рыбы. Степа обратил внимание на одну странную особенность – все официантки были женщинами, а среди посетителей их не было видно совсем. Со сцены помигивали разноцветными огнями какие то электронные музыкальные ящики. Сракандаева с друзьями в зале не было.

– Что будете пить? – спросила официантка.

Это было кстати. Степа открыл меню и пробежал взглядом по столбику цен. Напротив «3.40 у.е.» стоял коктейль «Б 52». Пять и два в сумме давало семь. Совсем неплохо, подумал Степа.

– Принесите «Б 52»… А это что у вас такое рядом – «Б 2»?

– Это наш фирменный коктейль.

– А чего дорогой такой? Двадцать пять у.е.?

Официантка пожала плечами.

– Хорошо, – сказал Степа, прикинув, что двойка с пятеркой в сумме тоже дают семь, – несите тоже.

Оставалось одно – ждать. Подумав, Степа вынул из кармана мобильный и набрал Простислава. Тот долго не подходил к телефону – наверно, спал. Наконец трубка проквакала:

– Але! Кто это?

– Привет, Простислав, – сказал Степа. – Срочное дело. Можешь выставить мне за это пятьсот долларов.

– Что такое?

– Короче, я сейчас нахожусь в одном… Скажем так, в одной серьезной ситуации. Нужно срочно погадать. А самому мне здесь неудобно. Сделай, а?

– Ладно, – удивленно сказал Простислав. – А что за ситуация такая?

– Вот как раз это я и хочу узнать, – ответил Степа. – Нужен четкий однозначный ответ.

– Перезвони минут через десять, – сказал Простислав. – Посмотрим, куда оно, родимое, движется.

Степа спрятал мобильный в карман и взялся за принесенный коктейль.

Прошло несколько минут, и в зале появились спутники Сракандаева. Жираф и Лара Крофт волокли под руки ошеломленного морячка в расстегнутом бушлате. У бедняги был такой вид, словно он побывал в песне про «Варяга», где его сначала несколько раз вывели на палубу, которой нет, а потом включили ослепительный свет, дали тысячу долларов и велели про все забыть.

Степе показалось, что они, как привидения, появились прямо из зеркальной стены. Потом он понял, что одна из ее секций была дверью. Жираф с Ларой протащили морячка через весь зал, охранник раскрыл входную дверь, и троица исчезла на улице.

Сракандаев теперь был один – где то там, за зеркальной дверью.

Час пробил.

Степа почувствовал, как ладони покрываются холодным потом. Он вытер их о скатерть и помахал официантке:

– Можно счет?

Официантка положила на стол серый листочек. Степа по привычке просеял цифры глазами и увидел под милым «3,40» равнодушное «25,0».

– Девушка, – сказал он, – вы мне вместе с «Б 52» этот «Б 2» посчитали, а я его даже не видел.

– Все правильно, – сказала официантка. – Это фирменный коктейль невидимка. Виден только в счете. Технология «стелс», слышали?

Как это часто бывало в последнее время, Степа не понял, издеваются над ним, или все следует принимать за чистую монету. Он не знал здешних порядков. Возможно, это было фирменным розыгрышем для новичков. А могло быть и так, что экономические тенденции цифрового века и впрямь проложили себе дорогу в мир алкогольной рецептуры. В конце концов, у себя в банке он готовил похожие коктейли, только с большим числом нулей. Стоило ли удивляться?

Степа протянул девушке две двадцатидолларовых бумажки.

– Сдачи не надо, – сказал он. – На ремонт аэродрома. А что у вас вон там?

Он кивнул на зеркальную дверь, откуда за минуту перед этим появились спутники Сракандаева.

– Кабинеты, – ответила официантка. – Но сейчас все три заняты.

Подождав, пока она уйдет, Степа вынул мобильный и снова набрал Простислава.

– Это я, – сказал он, закрывая трубку ладонью, чтобы не мешал шум. – Как, посмотрел?

– Посмотрел, – трудным голосом ответил Простислав. – Дело то важное? Отменить нельзя?

– Чего? – спросил Степа. – Не томи.

– Мрачно. Двадцать девятая. «Повторная опасность».

– Так, – стоически сказал Степа. – Понятно. А позиция какая?

– У нас сегодня че, понедельник? Значит, первая, – ответил Простислав. – Слабая черта. Предсказание такое – «Войдешь в пещеру в бездне». Так что ты ето, фонариком запасись. И кошками. Только не теми, которые мяукают, а теми, которые цепляются, хе хе хе…

Степа несколько секунд молчал, потом, не попрощавшись, сложил телефон и спрятал его в карман.

«А чего ты хотел то, – сказал у него в голове чей то голос. – Человека грохнуть – серьезное дело…»

«Нет, – ответил другой голос, – при чем тут – человека. Это же не человек. Это „сорок три“. И решать все надо сегодня или никогда. Нам на одной земле не жить. Как Зюзе и Чубайке. То есть им то как раз нормально. А вот нам действительно – рядом не жить…»

Над сценой зажглись софиты, и ударила ритмичная музыка. Музыкантов видно не было, и Степа понял, что играет фонограмма. В небольшом пространстве между музыкальными ящиками появился мужчина в черной шляпе федоре и строгом лиловом платье с низким вырезом на груди. Степа узнал Бориса Маросеева. Он первый раз видел звезду так близко. Боря был бледен. Под его глазом размещался большой синяк, видный даже сквозь грим. По цвету синяк был идеально в тон платью. Сняв с головы шляпу, Боря прижал ее к груди и поклонился. Зал приветственно загудел.

Степа заметил за соседним столиком двух молодых людей в одинаковых темных свитерах. Когда зажегся свет, стало видно, что их лица, как и у многих других в зале, подведены. Но косметика была наложена густо и неумело, словно кто то наспех накрасил их в полутемном подъезде. Один был мелким бледноволосым юношей сонного вида. Другой был ростом, наверно, метра в два с половиной и напоминал персонажа из фильма Куросавы «Телохранитель» – титанического имбецила, который сражался деревянным молотом. Косметика смотрелась на его маленьком честном лице немного странно.

Когда Борис Маросеев выпрямился после поклона, сонный юноша дернул титана за рукав. Тот вынул из под стола похожий на тыкву кулак и, стараясь не привлекать внимания окружающих, экономным движением показал его артисту. Маросеев, как показалось Степе, побледнел еще сильнее. Но это могла быть и очередная перемена освещения.

Музыка стала громче. Начав раскачиваться ей в такт, Боря скрестил руки, запрокинул лицо к потолку, и с бархатными интонациями Джо Дассэна зашептал в проволочку радиомикрофона:

Я видел его вчера в новостях,

Он говорил о том, что мир стоит на распутье.

С таким, как он, не тронут ни дома, ни в гостях,

И я хочу теперь такого, как Путин…

В зале восторженно завизжали. Послышался звон бьющейся посуды и крики – за одним из столиков началась не то потасовка, не то танец. Туда кинулись секьюрити, и Степа понял, что лучшего момента он вряд ли дождется. Подхватив портфель, он встал и быстро пошел к зеркальной стене. Остановившись возле нее, он оглядел отраженный зал. На него никто не смотрел – все были захвачены происходящим на сцене, где Боря, насколько позволяла неважная физическая форма, изображал что то лыжно дзюдоистическое.

Степа нажал локтем на зеркальную панель. Она повернулась, и он шагнул в открывшийся проем.

За ним оказался темный коридор с тремя дверями. Степа приоткрыл первую. Там сидела пьяная компания. Он приоткрыл вторую и увидел цыгана с гитарой, который что то пел двум внимательным голым слушателям.

Сракандаев мог быть только за третьей. Степа вынул лингам из портфеля. Тот неприятно скользил в его мокрой от волнения руке.

«А может быть, – подумал он, поглаживая пальцами упругий пластик, – этот коридор и есть пещера, а бездна за дверью? Тогда все сходится. Вот только какая это бездна? Верхняя или нижняя? Ах, если б знать, если б только знать…»

Надо было спешить.

– Во имя отца, сына и святого духа, – прошептал Степа, натягивая на руки резиновые перчатки. Затем он осенил лингам быстрой четверкой, повернул бронзовую ручку в виде трубящего купидона и потянул дверь на себя.
77

Открывшийся Степе кабинет был просторной квадратной комнатой, треть которой занимала кровать. На полу валялись чьи то несвежие белые носки. В углу беззвучно работал телевизор. В другом сиял синим и красным торшер на тонкой стальной ноге. Сракандаев, в накинутой на голое тело махровой простыне, стоял к Степе левым боком, склонясь к стеклянному столику, на котором лежала журнальная страница, накрытая перевернутой тарелкой. В его руке была бумажная трубочка, через которую он проворно убирал носом полоску белого порошка со стекла.

Степа прикрыл дверь и бросил портфель в угол. Ему показалось, что дверь закрывается очень медленно, а портфель надолго завис в воздухе – все происходило совсем как в фильме «Спайдермен», когда у героя прорезалась сверхчеловеческая скорость восприятия. Чувствуя, что тело слушается его недостаточно быстро, он пошел на Сракандаева, поднимая руку, в которой был сжат лингам. Степа догадывался, что выглядит грозно – в развевающейся рясе, с крестом на груди и красным копьем судьбы в вытянутой руке, он, должно быть, походил на солдата добра в час решающей битвы.

Сракандаев поднял на него глаза, полные недоумения. Оно сменилось страхом, и Сракандаев стал медленно разгибаться Степе навстречу. Степа заметил облако белой пыли, которое появилось в воздухе возле его носа – должно быть, от испуга он выдохнул только что втянутый порошок.

Когда он полностью распрямил свою спину, Степа приставил красную головку лингама к его лбу и с торжествующим рыком изо всех сил сжал оружие в кулаке.

Но выстрела не последовало. Степа не ощутил даже щелчка, который показал бы, что случилась осечка, – не произошло ничего. Не понимая, что делать дальше, он замер на месте, глядя в полные ужаса глаза Сракандаева.

Время потекло со своей нормальной скоростью. Сракандаев моргнул, потом еще раз, и ужас в его глазах сменился недоумением. Потом интересом. А потом каким то новым, незнакомым Степе чувством. Он облизнул губы, и вдруг, задрав подбородок, провел по лингаму языком.

И тут Степе стало страшно.

В этот момент дверь распахнулась, и в комнату ворвались трое охранников во главе с Клинтом Иствудом, сжимающим в руках помповое ружье.

– Все в порядке? – крикнул один из охранников.

– В полном, – ответил Сракандаев, отводя глаза от Степы. – А что такое?

– Да камера в коридоре показала, что к вам… Ну этот…

– Бля, я же просил не беспокоить, – сказал Сракандаев и оглушительно чихнул.

Клинт Иствуд смерил Степу долгим взглядом – недоверчивым и уважительным. Сракандаев указал рукой на выход, и охранники удалились, деликатно прикрыв за собой дверь.

Степа понял, что он, словно какой то немыслимый Ленин, так и стоит с красным членом в протянутой вперед руке. Он опустил руку, но Сракандаев поймал его за запястье.

– Сюда, – сказал он и подтащил Степу к стеклянному столику.

Сняв тарелку с горки белого порошка (Степа отчего то подумал, что это карликовый сугроб, как бывают карликовые деревья бонсай), он подгреб часть к краю журнальной страницы.

– Давай, – сказал он Степе, протягивая ему зашмыганную трубку, свернутую из банкноты.

– Я не…

– Я сказал, давай, – хрипло повторил Сракандаев и облизнулся.

Степа решил не спорить. Положив член на столик, он взял у Сракандаева трубку, сунул в нос тот конец, который был чище, и, придерживая другой рукой бороду, втянул в ноздрю отвратительно горький порошок.

– Вторую.

– Мне хватит, я…

– Я сказал, вторую.

Степа перевел дух.

Страница с порошком по виду была рекламной вклейкой из глянцевого молодежного журнала. Два места на ней были помечены желтым маркером. Вверху помещалась фотография, на которой два малосимпатичных человека с мясистыми лицами пожимали друг другу руки на фоне полок с кассетами. Прямо по ним проходила надпись: «Приходи к лидеру, становись дилером. Дистрибуция видеокассет концерна „Премьер Видеофильм“». Другое подчеркнутое объявление пряталось внизу: «Приходи к дилеру, становись лидером. Метамфетамины таллиннского химкомбината „Старая башня“». Еще ниже начиналась россыпь порошка с кратером, только что оставленным трубкой в Степиных пальцах.

– Объявления читаешь? – сказал сзади Сракандаев. – Моего дилера тоже прикололо. Он уже второй месяц в эту страницу фасует. Такое чувство, что он их сам печатает. Или весь тираж скупил.

Сракандаев говорил в нос, отчего его речь напоминала голос доброго мультипликационного персонажа. Степе показалось, что он уже видел где то слово «метамфетамины», или какое то похожее, но вспомнить точно он не смог.

– Ну ты давай, или как?

Сракандаев, похоже, начинал нервничать. Степа подчинился и всосал другой ноздрей еще одну порцию белой дряни.

– Что это? – спросил он, отдавая трубку Сракандаеву.

– Мультивитамин, – ответил Сракандаев. – Формула успеха.

– Это им морячка накачали?

Глаза Сракандаева превратились в две узеньких щелочки. Степа понял свою оплошность. Но было поздно.

«Сейчас охрану позовет», – похолодев, подумал он, и его рука взяла лингам со столика, прежде чем он вспомнил, что магическое оружие отказало. Сракандаев проследил за этим движением, и его лицо прояснилось. А затем и вовсе расплылось в улыбке. Он погрозил Степе пальцем.

– Н ну хорошо, – сказал он. – Только одно условие.

– Какое? – спросил Степа, чувствуя, что в голове у него нарастает противный зудящий звон.

– Я буду осликом.

Сракандаев подобрал с пола то, что Степа принял за грязные белые носки, и натянул на голову. Это была эластичная повязка бандана с двумя длинными белыми ушами, которые упали на плечи Сракандаева, придав ему сходство не столько с осликом, сколько с пожилым мудрым зайцем. Заяц шагнул было к отшатнувшемуся Степе, но затем, видимо, вспомнил что то важное и вернулся к кровати.

– Сейчас, – сказал он, роясь в куче валяющегося на полу белья. – Вот.

В его руках появился прямоугольный предмет, который Степа принял за небольшую картину в раме. Вернувшись к столику, Сракандаев поставил картину на него, прислонив ее к стене, затем озабоченно поглядел куда то вверх и изменил угол ее наклона. Степа с удивлением понял, что это застекленная фотография Путина в кимоно. Сракандаев еще раз осмотрел комнату и чуть довернул фотографию вправо.

– Теперь можно, – сказал он и сбросил с плеч простыню.

Степа посмотрел на его выпирающий мохнатый живот, стараясь не опускать глаза ниже. Сракандаев ухмыльнулся.

– Некоторые говорят, что это от пива, – сказал он и подмигнул. – Врут. Это для пива.

Отвернувшись, он опустился на колени, крепко уперся локтями в пол и повернул к Степе лицо. На нем изобразилась озабоченность, и его ладонь, просунувшись между ног, закрыла ложбинку между ягодицами.

– Скажи мне честно. Ты, случайно, не марксист?

– Шутите, барин, – с недоброй улыбкой ответил Степа.

– Точно не марксист? – переспросил Сракандаев, игриво нахмурившись.

Степа отрицательно покачал головой. Сракандаев улыбнулся и убрал ладонь.

– Ну хорошо… Возьмем от жизни все, – сказал он. – И раз…

Степа понял, чего от него ждут, и посмотрел на лингам в своей резиновой руке.

– Ну же, – нетерпеливо повторил Сракандаев и слегка качнул задом.

«Главное, – подумал Степа, опускаясь на корточки, – чтоб охрану не позвал…»

Через минуту он уже не очень понимал, где он находится и что происходит. Глядя на свою мерно работающую руку, он не испытывал ни возбуждения, ни отвращения. Не было даже личной вовлеченности в происходящее – словно он чистил плунжером засорившийся унитаз. Удивительно натуралистичные ослиные крики, которые время от времени издавал Сракандаев, придавали этому занятию какой то среднеазиатский колорит. Степу занимало только то, чтобы Сракандаев случайно не коснулся телом его рясы, – почему то казалось, что тогда все обойдется.

Сракандаев снова повернул к Степе разрумянившееся лицо и сказал:

– Побудь Таней, а?

– Чего? – испугался Степа.

– Да нет, ты не понял. Просто представь себе, что ты – Таня.

– Если честно, – ответил Степа, – я хотел побыть Пикачу.

Сракандаев криво и бесстыдно улыбнулся.

– Слушай, – сказал он, – побудь пять минут Таней, потом всегда будешь Пикачу!

Что то мягко ухнуло в Степиной голове, и ему стало казаться, что он зоотехник на стреляющей огнями и звуками новогодней ферме. Он сообразил, в чем дело, – действие наркотика наложилось на воспоминание об искусственном осеменении, виденном однажды во время сельхозработ.

– Георгий Варфоломеевич, – сказал он, – вы, надеюсь, понимаете, что я делаю это исключительно из уважения к вам?

– Я так тебе за это благодарен! – ответил Сракандаев, поднимая брови. – Так благодарен! Только зови меня Жорой. И давай уж сразу на «ты»!

Степа заметил на восковом плече Сракандаева татуировку – такие, наверно, были в моде в богемных кругах. Это был штрих код с тремя шестерками над блоком вертикальных линий разной толщины. Снизу была надпись: «Торговля с рук разрешена». Выглядела татуировка очень стильно.

Вдруг Степа понял, что «666» переправлено на «366», скорее всего в кустарных условиях, потому что на месте первой шестерки остался похожий на тень след, а дужка тройки выглядела неровно и грубовато. Его так поразило увиденное, что он отпустил лингам и обернулся, словно ожидая увидеть Бингу, глядящую на них со Сракандаевым в свой волшебный калейдоскоп.

– Давай, Танек, не тормози! – прошептал Сракандаев.

Бинги нигде не было. Степа снова взялся за свою зоотехническую работу.

«Триста шестьдесят шесть, – подумал он. – А почему? Непонятно… Ведь тоже прикидывает человек, считает, боится ошибиться. Надеется, что все обойдется… Про душу думает…»

Цифры означали, что в Сракандаеве, точно так же, как и в нем самом, шла мучительная борьба добра и зла, света и тьмы, только эти вечные субстанции протекали сквозь чужое сердце по неведомым руслам. Степа ничего не понимал про эту враждебную вселенную, про этот антимир, который был сейчас так близко…

Опустив глаза, он увидел ягодицы Сракандаева и вспомнил фрагмент своего сна – овальный вырез в трико ночного незнакомца. Он отвел взгляд, но увиденного было достаточно, чтобы вспомнилось предсказание, сделанное по телефону Простиславом.

«Войдешь в пещеру в бездне, – изумленно подумал он. – А ведь точно… Все знали китайцы! Пять тысяч лет назад все знали!»

Порошок, между тем, действовал все сильнее. Степа перестал слышать крики Сракандаева – вернее, перестал их воспринимать. Пронзительное «И ааа», которое Сракандаев издавал с интервалом в несколько секунд, стало подобием звуковых обоев.

Что то произошло с его зрением – похоже, начинались галлюцинации. В один момент перед ним была дергающаяся человеческая спина в складках жира, а в другой он совершенно ясно видел, что накачивает велосипедным насосом большого толстого зайца, который почему то кричит ослом. Это заяц был такой белизны, что Степе приходилось щурить глаза. Потом он закрыл их совсем и понял, что может видеть свои мысли. Одна из них оказалась совершенно поразительной.

Степа увидел белое «34» – совсем как в тот вечер с Мюс. Но ее красного «66», огромного и неподвижного, нигде не было. Вместо этого вокруг летало небольшое синее «43» Сракандаева,

описывая безумные рваные круги, как летучая мышь в сумерках. Два числа отталкивались друг от друга, словно магнитные полюса одного знака, и так продолжалось до тех пор, пока после очередного кувырка они не сложились в невозможное, ядовито зеленое «77».

За этим числом открылась целая галерея образов: они со Сракандаевым, в черных рубахах, с факелами в руках, грохочущим шагом идут к огромному костру в шеренге с такими же крепкими ребятами… Надежное мужское товарищество, воспетое Де Садом… Вскинутая в римском салюте рука… Степа почувствовал, что все это не нравится ему до тошноты. Кроме того, он понял, что число «77» одной природы с «66» – оба сулят ему что то опасное и дурное, хотя и непонятно, почему.

Он почувствовал себя беззащитным и маленьким среди этих огромных цветных цифр – чужих, равнодушных, оглушительно трубящих на него ослом. А ведь у него было свое заветное число… Где оно теперь? Неужели оно покинуло его в этом сумрачном пространстве греха и падения, и осел растопчет его своими четырьмя копытами, тряся над ним тремя отростками – ушами и хвостом?

НЕТ.

Степа снова увидел вверху белое «34», похожее на пару обнявшихся ангелов. Теперь оно казалось совсем маленьким, так глубоко в бездну он сошел по лестнице порока. Но все же его можно было различить. Степа молитвенно поднял руки, заставив Сракандаева недовольно мыкнуть. И тогда из белого «34» ударил луч, который осветил все вокруг и погас, коснувшись Степиного лба. Число «34» исчезло. Но Степа знал, что это не страшно, потому что теперь оно было в нем. Оно снизошло.

Его ум заработал совсем иначе, чем секунду назад.

Осел был могуч. Очень могуч. Но было одно животное, которого он боялся. Был зверь, способный его победить…

«34» сверкнуло в Степиной голове и стало словом «волк».

Это слово начиналось с третьей буквы алфавита. Всего букв в нем было четыре. Тридцать четыре! Три согласных, четыре буквы. Двойное «тридцать четыре»!

«Волк! – подумал Степа. – Как же я не догадался? Волк!»

Он длинно завыл на лампу торшера. Сракандаев повернул к нему рассыпающееся на цветные осколки лицо, осклабился и спросил:

– Ну как порошочек?

Степа опять завыл, а потом его вой превратился в рык такой силы, что Сракандаев согнулся и задрожал, прижавшись грудью к полу.

«Пикачу был маленькой тихой свинкой, – подумал Степа, – но злые люди разбили его сердце. И он стал волком! Он теперь волк! Волк! Волк!»

«34» еще раз вспыхнуло в его мозгу, окончательно сплавив его с собой в одно целое. Когда огонь угас, Степы уже не было. Возле елозящего на коленях Сракандаева стоял Степной Волк.

DER STEPPENWOLF.

Он сильно отличался от Степы.

Степе были нужны какие то резиновые инструменты. Степному Волку они были ни к чему. У него имелся собственный инструмент – серый угловатый DER, покрытый клочьями жесткой шерсти и вполне готовый к тому, чтобы кого нибудь дернуть. Степной Волк потянул за красную кочерыжку, и лингам победы выскочил из пещеры в бездне.

– Ну что, ослик… Сейчас ты ответишь за все, – прошептал Степной Волк почти нежно, сдерживая рвущееся из горла рычание. – Сейчас ты узнаешь, что такое Степной Волчий Хуй! На! На! На На!

– Татьяна! – закричал Сракандаев, – я не могу! Татьяна!! Нет! Нет! Да! Да!! ДА!!! ТАТЬЯНА!!!!

Он замолотил рукой по полу, словно сдающийся борец.

И Степной Волк понял, что Осел низвергнут.

Как только это стало ясно, Степа ощутил, что он больше не Степной Волк. Он снова был собой, и в темноте перед его закрытыми глазами уже не вспыхивали молнии и не проплывали числа. Степа не понимал, как он мог оказаться в такой дикой ситуации. Но Сракандаев, несмотря на агонизирующие крики, так умело качал своим мягким задом, что ситуация все продолжалась и продолжалась, хотя сам Степа уже ничего для этого не делал.

Он моргнул несколько раз, чтобы привести глаза в фокус, и увидел перед собой чье то знакомое лицо. Но это был не Сракандаев. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, кто это.

С портрета на столике, добродушно улыбаясь, глядел Путин в кимоно. Глядел он, ясное дело, не на вакханалию в кабинете, а куда то вдаль – туда, где простирались зеленые просторы Евразии, свинцовые воды Атлантики и желтые дюны аравийских пустынь. И думал он явно не о них со Сракандаевым, а о чем то важном, путинском. Но Степа не сомневался, что краем глаза Путин видит не только мировые пожары и бури, но и их со Сракандаевым, и не особо одобряет происходящее в комнате, хотя, конечно, не станет за это карать – не те времена. И все же что то подсказывало Степе, что после новой галочки в деле спрос с него будет чуть строже. И спрашивать будет не Путин, а он сам. И так же спросит с себя Сракандаев.

А за то, что после случившегося им разрешено будет жить дальше, и не просто пресмыкаться где то во мраке, а дышать полной грудью, не боясь ни травли, ни ночного стука в дверь, он испытал к новой эпохе такую благодарность, такое доверие, такую нежность, что эти чувства, достигнув невозможного зенита, естественно переросли в неостановимую судорогу любви. Со

Сракандаевым, видимо, произошло то же самое – не поворачиваясь, он упрямо дернул спиной, взмахнул своими длинными белыми ушами и зашептал жаркой скороговоркой:

– Семь центов, семь центов! Семь центов!

11

Сидя в вагоне ресторане, Степа пил коньяк, поглядывая на свое отражение в окне. Когда поезд проносился под мостом или мимо какой нибудь темной стены, становился виден мужчина с всклокоченной бородой и ввалившимися глазами, одетый в помятую рясу. Зрелище вызывало тяжелое чувство.

Рядом с бутылкой на столе лежали мятые уши Сракандаева – памятный подарок, который Степа получил в обмен на красный лингам победы. Степа чувствовал весь символизм этой операции, так жестоко рифмующийся с новейшей историей России. Это делало его состояние еще мизерабельней. Хуже всего было то, что он даже не понимал, чем кончилась битва при «Перекрестке» – победой или поражением.

«Но пораженья от победы ты сам не должен отличать», – говорил Пастернак.

Степа со школы уважал Пастернака, зная, как трудно среди отечественных заложников вечности у времени в плену найти таких, которые не страдали бы стокгольмским синдромом в острой гнойной форме. Но все равно завет классика не грел.

«Вот оно как, – думал он, глядя на мерцающего в окне грешника. – Едет по России поезд. В нем сидит обычный парень, симпатичный и скромный. И никто даже не догадывается, что это и есть тот самый Пидормен, о котором все слышали столько невероятных историй…»

– Можно к вам присесть?

У стола стоял милиционер из линейного отряда – он уже несколько раз проходил мимо, привлеченный, видимо, романтическим видом Степы. Степа пожал плечами.

Милиционер сел напротив.

– А что это у вас за тряпочка? – спросил он.

Степа молча подвинул ему уши через стол. Милиционер с интересом взял вещицу в руки.

– Танечке на память о встрече в Зазеркалье, – по слогам прочитал он черные каракули Сракандаева. – Интересно. А что это за ослик подрисован? Вместо подписи, да? Смешной.

Степа молчал.

– А кто же эта Танечка, а?

– Поверьте на слово, – сказал Степа, поднимая бездонные пропасти глаз, – есть вещи, которых вам лучше не знать. Крепче спать будете.

– Вид у вас усталый. О чем то тяжелом вспоминаете?

– Угадали, – ответил Степа.

– Не поделитесь?

– Да вам не интересно будет.

– Попробуйте.

– Охота вам лезть в чужую душу.

– Ну почему лезть. Сами расскажите. Глядишь, и легче станет.

Степа несколько секунд молчал, подыскивая слова.

– Оказывается, я не только пидор, – сказал он наконец. – Оказывается, я еще и тварь дрожащая…

– Да? – тускло переспросил милиционер. – И чем вы это объясняете?

Степа пожал плечами.

– Может быть, подсознательные склонности, в которых не отдавал себе отчета. Раболепие, которым заразили детскую душу в советские времена… А может, порошок такой.

– Понятно. А документики ваши можно?

Степа сунул руку в карман, вытащил сложенную вдвое стодолларовую бумажку и, раскрыв ее книжечкой, протянул через стол. Милиционер взял купюру двумя руками, посмотрел на президента в овале, потом на Степу, потом опять на президента.

– Без бороды снимались, что ли? – спросил он подозрительно.

Степа кивнул. Беседа начинала его раздражать. Милиционер спрятал банкноту, встал и козырнул.

– Ну что ж, отец Бенджамин, – сказал он, – добро пожаловать в город герой Москву.

Степа налил себе еще коньяку. Ему вспомнились суетливые манипуляции, которые Сракандаев проделывал вчера с фотографией Путина – словно его пугала даже минутная разлука с этим изображением. А то раболепие, которое проснулось в нем самом, было вообще необъяснимо. Хотелось верить, что это всего лишь эффект проклятого порошка, от которого все утро текли из носа кровавые сопли.

Но Степа подозревал, что дело было глубже.

«Откуда в русском человеке это низкопоклонство, это генетическое холопство перед властью? – думал он. – Непонятно. И ведь самое забавное, что мы хорошо эту свою особенность знаем. Даже слово „ментальность“ научились говорить. Только куда девается то, что мы понимаем про свою ментальность, когда эта самая ментальность включается по первому ментовскому свистку? Говорят – умом Россию не понять. А почему? Да очень просто. Когда это самое начинает шевелиться в душе, ум сразу уезжает в Баден Баден. А когда отпуск берет это самое, ум возвращается и делает вид, что ничего не было, и у нас тут чисто Европа, просто медведи белые. Каждый, кто здесь родился, все понимает до мельчайших подробностей. И все равно попадает по полной программе… Сэ ля мы».

Степа посмотрел на лежащие на столе уши, и воспоминание о недавнем кошмаре покрыло его щеки густым румянцем. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть своего отражения в окне.

В кармане зазвонил мобильный.

– Ало, – сказал Степа, поднося к уху трубку.

– Здорово, – жизнерадостно крикнул в трубке Лебедкин. – Как дела?

– Нормально.

– Тоже осла ебал? Добро пожаловать в члены клуба!

– А? – ошарашенно спросил Степа.

– Запись уже в Москве. Сейчас быстро – по интернету гоним. Всем отделом с утра уссывались, как ты его хуярил. Просто какая то победа добра и света. Чего это ты руки к потолку так поднимал? Молился, что ли?

Степа ничего не ответил.

– А рычал то как… Тебе, Степ, в кино сниматься надо, а не в банке штаны просиживать.

Степа снова промолчал.

– Но ты учти, что, когда осел так орет, это всерьез и надолго. Он влюбчивый… Ты чего молчишь?

– Не знаю, что сказать, – признался Степа. – Голова болит.

– А потому что дрянь эту нюхал. Вот этого от тебя, если честно, не ждал. Осла отхуярить – святое дело. Но это то зачем?

– Будет теперь и на нас с ослом компромат.

– Какой компромат, – вздохнул Лебедкин. – Если бы. Осел хитрый. Вот прикинь – на тебя у нас компромат есть. Ты сам на меня материал кое какой тоже имеешь, знаю знаю… А вот на осла, которого все ебали, ни у кого ничего нет. А пленки то есть, и какие пленки! Альмодовар отдыхает. Представь – стоит осел раком и орет в мобилу: «У меня хватит политического влияния в этой стране, чтобы вас всех поставить раком!» И головой трясет, чтоб уши с глаз отбросить, а то самому не видно, кто его пялит. Я реально говорю, на это смотреть для здоровья вредно, так ржешь. Ну и что? Пленки есть, а компромата нету! Можешь представить?

– Нет, – ответил Степа. – Не могу. Как такое может быть?

– А так. Думаешь, зачем он портрет Путина рядом ставит? Потому что знает – в таком виде мы это ни на один сайт не повесим. Умный… Понимает ситуацию. А раньше фото было, где он с Ельциным в обнимку…

Степа долго ничего не мог ответить. Наконец, молчание стало невыносимым, и он почувствовал необходимость сказать хоть что нибудь.

– А почему… э э э… а почему вы не можете старые пленки, ну те, где он с Ельциным, сейчас запустить?

Теперь надолго замолчал Лебедкин.

– Ладно, – сказал он наконец, – я не за этим звоню. У тебя телевизор рядом есть?

Степа поглядел под потолок.

– Да есть тут один, не знаю, работает или нет.

– Включай. Сейчас первый выпуск «Чубайки». Он, правда, немного неровный, не обкатали еще до конца. Как говорится, первый блиц кригом. Но людям, кто видел, нравится. Короче, включай.

– Понял, – сказал Степа без особого энтузиазма.

– И еще, – продолжал Лебедкин, – личный вопрос. Если не секрет, где это ты так переодеваться научился? Что, бля, тоже в Панкисском ущелье тусовался?

– Я… Да нет, я…

– А то смотри. Люди нервничают. Осел, когда ты к нему в банк с этой бородой первый раз пришел, вообще обосрался. В час ночи мне позвонил – он даже не понял сначала, что это ты.

– А он что, он знал? – изумленно спросил Степа.

– А ты думал. Я же лучшая крыша в городе. А у него три видеокамеры в приемной. Я ему и сказал, чтоб он не парился, – у тебя к нему реального базара быть не может, что то личное, романтическое. Так что он тебя с тех пор и дожидается. У тебя вазы в офисе есть?

– А что?

– Купи, если нет. Будешь каждый день букет получать с курьером. Знаешь, Степа… Я тебя, с одной стороны, конечно, понимаю – присмотреться к партнеру, то да се… Но с другой стороны, нашел ты геморрой на свою голову, вот что я скажу.

– Почему?

– Ты просто не все про него знаешь. Тебе ведь его не только пялить надо будет, а еще на лугу пасти и волков отгонять. Иначе он реветь будет, и довольно громко. А волками у него на даче два таких сенбернара работают, что ты, прямо тебе скажу, заебешься.

– Все, капитан, – сказал Степа. – Я пошел телевизор смотреть.

– Ну давай, братан. До скорого.

Телевизор под потолком вагона ресторана работал плохо. Сигнал был слабым – по экрану шли косые полосы помех, и звука почти не было. Как только кончился рекламный блок, экран почернел, а потом взорвался радужной вспышкой салюта. Когда огни угасли, на экране осталась огромная золотая цифра «43». Четверка задрожала, несколько раз крутанулась вокруг оси, качнулась и, как язык колокола, со звоном ударила в тройку. Волнами от удара разбежались веселые разноцветные буквы, сложившиеся в слова «Чубайка» и «Зюзя». Затем между ними с чпокающим звуком вылупилась маленькая зеленая буква «и», напомнившая Степе своим ядовитым цветом число «77» из его петербургского делириума. Он почувствовал подступающую к горлу тошноту, вскочил и кинулся в туалет.

Когда он вернулся, Зюзя и Чубайка были уже на экране. Степа не понял, куклы это или анимация, но сделано было здорово. Они выглядели в точности так, как описал в проекте Малюта, только Зюзя, одетый в зэковский ватник с тельняшкой, был даже страшней, чем Степа представлял. Мрачно поглядывая на Чубайку и делая время от времени уродливые медвежьи жесты, он продолжал разговор, начало которого Степа пропустил:

– Чубайка, хотите я напомню, как в России началась новая эпоха?

– Попробуйте, Зюзя.

– Сидел русский человек в темном сарае на табуретке. Сарай был старый и грязный и ужасно ему надоел. Русскому человеку говорили, что он сидит там временно, но он в это не верил, потому что помнил – то же самое говорили его деду с бабкой. Чтобы забыться, русский человек пил водку и смотрел телевизор. А по нему шли вести с полей, которые тоже страшно ему надоели.

– Разве не жуть, Зюзя?

– Однажды телевизор показал огромный светлый дом с колоннами, каминами и витражами, с красивой мебелью и картинами. А потом, Чубайка, на экране появились вы. На вас был этот же самый смокинг и бабочка. Вы попросили зрителя ответить на вопрос, где лучше – в грязном старом сарае или в этом огромном светлом доме?

– И что ответил русский человек, Зюзя?

– Русский человек ответил, что лучше, конечно, в огромном светлом доме. Вы сказали, что такой выбор понятен, но путь туда непрост, и плата будет немалой. И русский человек согласился на эту плату, какой бы она ни была.

– Продолжайте, Зюзя.

– И тогда, Чубайка, вы открыли русскому человеку страшную тайну. За право находиться в этом доме ему придется стать табуреткой самому, потому что именно так живет весь мир, и людей этому обучают с детства…

– Ну и?

– А когда русский человек перекрестился и действительно стал табуреткой, вы объяснили, что в стране сейчас кризис. Поэтому огромных светлых домов на всех не хватит. И ему, то есть как бы уже ей, временно придется стоять в том же самом сарае, где и раньше. Но только в качестве табуретки.

– Интересно излагаете, Зюзя. И что дальше?

– А затем уже без всяких объяснений на табуретку уселась невидимая, но очень тяжелая задница, которая на своем языке разъяснила бывшему русскому человеку, что не следует интересоваться, чья она, потому что у табуреток тоже бывают проблемы. А лучше подумать о чем нибудь другом. Например, о том, какая у него, то есть у нее, национальная идея…

– Вот. Наконец то мы добрались до темы сегодняшней передачи, – сказал Чубайка, повернулся к телезрителю, и камера дала его крупным планом, оставив Зюзю за кадром. – Здравствуйте, дорогие россияне! Меня зовут Чубайка. А это, как вы догадались, Зюзя. Вообще то он не такой дурень, каким мог показаться, но до него все слишком медленно доходит. Он не понимает, что табуретка в нынешних условиях молиться должна, чтобы привлечь к себе инвестора. А какой инвестор захочет, чтобы его называли задницей? Кстати, Зюзя, вы с рыночной точки зрения табурет никакой. Скрипите сильно – это я вам как единственный реальный инвестор говорю…

Степа понял, что больше не может выносить этих гуннских плясок на могиле своей мечты. Когда он выходил из вагона ресторана, на вахту у телевизора заступил замасленный железнодорожный люмпен, непонятно что делавший среди чистых скатертей и сверкающих столовых приборов. Он переключил программу, попал на новости и довольно осклабился:

– У у, Колин Пауэлл… А вон и Коля…

Добравшись до купе, Степа рухнул на свое место. Полежав на спине, он понял, что не уснет, и вытащил из портфеля «Братьев Карамазовых». Он никогда не читал этой книги, хотя помнил, что в детстве смешил родителей, выговаривая ее название как «Братья Кармалазовы», а потом раза два писал по ней сочинения в школе («мучительные раздумья большого художника о судьбах России

и духовных поисках живущего в ней человека», высший возможный балл – «три» за содержание, «четыре» за грамотность).

Сейчас, наверное, поздно было начинать. Но слушать радио было скучно, и он открыл том на неизвестно кем и когда заложенной странице:

«Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, и определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут… Иной высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским…»

Степа понял, что по радио как раз крутится песня этой самой Мадонны, словно состоящая из заголовков бизнес ньюз, которые сами собой разворачивались в его голове в чугунные информационные блоки:

«You know that we are living in a material world,

And I'm a material girl…

«Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы…»

«You know that you are living with a material girl,

And this is a material breach…»36

Степа поднялся и с такой силой выключил радио, что круглая ручка осталась в его кулаке. Он швырнул ее в угол. «Какие там идеалы, боже мой», – подумал он и стал читать дальше:

«Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотою. В содоме ли красота?»

Степа уронил книгу и застонал:

– Ах, если бы, Федор Михайлович! Если бы!

Утром Степина машина попала в пробку на Пушкинской, и он задремал за спиной шофера. Придя в себя от гудков, он несколько секунд не мог понять, где находится, пока не увидел рекламу пепси колы со словами «Бери от жизни все!»

При виде бутылки в руке лирического героя Степа провалился в ассоциации, которые заставили его так сложно наморщиться, что сидевший за рулем соседнего джипа человек заерзал на месте и несколько раз нервно просигналил.

Когда машина тронулась, Степа вспомнил, что в обитой шелком коробке остался еще один лингам победы, такого же цвета ультрамарин, как этикетка на рекламе. Цвета удачи, хотелось бы верить… Но оснований для веры было мало.

«Что теперь? – подумал он. – Непонятно. Как в песне – и не разберешь, пока не повернешь… Фу…»

Мюс на работе не оказалось. Степа открыл дверь в бухгалтерию, и на него выплеснулись брызги чужого спора:

– Да чего он гонит то? А раньше русский человек что, не был табуреткой? Не просто табуреткой, а стульчаком с большой дырой посередине…

Где Мюс, в бухгалтерии не знали. Бледный бухгалтер сказала, что второй день звонит Сракандаев, интересуется, когда Степа будет на месте. В контрольном отделе тоже ничего не знали про Мюс. Зато на ее столе в приемной лежал огромный букет роз, перевязанный муаровой лентой с вытисненным золотым осликом – за полчаса до приезда Степы его доставил курьер из «Дельта кредита». Кроме того, с букетом прибыло письмо.

Тихо выругавшись, Степа взял его и пошел в кабинет – читать. Письмо, отпечатанное на розовой японской бумаге, было следующего содержания:

Степка,

Когда я увидел тебя в этой рясе и перчатках, с этим крестом и всем остальным (хо хей хо!), я сразу понял, что ты very cool guy37, с воображением и стилем. Я люблю ребят вроде тебя, потому что и сам такой – ты, наверно, уже в курсе. Я уверен, что впереди у нас немало клевых преклевых обалденных минут, а может быть, даже часов и дней. Когда будет свободная секунда, раздай мне, пожалуйста, звоночек. А то я боюсь перегрузить твой автоответчик и напрячь твою секретаршу.

Знаешь что? Выбирайся ка в этот уик энд ко мне на дачу!

P.S Как прикольно, что мы работаем над одним проектом! Я сразу понял, что мы одинаково смотрим на мир.

Вместо подписи был подрисован маленький ослик. Степа положил письмо на стол, опустил голову на руки и некоторое время глядел в темноту под веками, считая варианты, как сказал бы шахматист. Ни один не хотелось досчитывать до конца.

На столе звякнул селектор.

– Степан Аркадьевич, – сказала Люся из бухгалтерии, – курьер из «Дельта кредита» еще здесь. Ему велено без ответа не возвращаться. Что сказать?

– Сейчас будет ответ, – буркнул Степа. – Где же Мюс?

– Не знаю.

Бросив трубку, Степа притянул к себе сракандаевское письмо, подумал немного и крупно написал под осликом:

Пасись, жопа, пока Таня волков отгоняет.

«Нет, грубовато, – решил он, перечитав написанное. – Или нормально? Может, поменять „жопа“ на „жора“? Тогда с большой буквы надо… Вот черт, теперь еще и об этом волноваться…»

На всякий случай подрисовав под ответом что то вроде интернетовского смайлика, он нажал на селекторе клавишу со стилизованной «М» (сердечко с двумя вертикальными ножками), и тут же вспомнил, что Мюс в банке нет. Без нее он чувствовал себя как без рук. Взяв письмо, он вышел в коридор. Там ждала Люся из бухгалтерии.

– Вот ответ, – сказал Степа, отдавая ей сложенный лист, – передай курьеру. Меня сегодня больше не будет.

– Степан Аркадьевич, не могли бы вы просмотреть последние платежки? – сказала девушка. – Они у вас на столе, бухгалтерия очень просит.

– Потом, – сказал Степа.

Вернувшись в кабинет, он попытался дозвониться Мюс, но ее мобильный был выключен.

«Что же за день такой, – подумал он. – Даже пожаловаться некому…»

Подумав, он решил ехать в ГКЧП к Простиславу.

Простислав успел попасть в передрягу. Его только что отпустили из больницы после отравления соединениями ртути – оно было таким серьезным, что он даже побывал в реанимации. Степа слышал, что от ртути умерли почти все китайские богдыханы, занимавшиеся поисками вечной жизни, потому что в даосские рецепты пилюль бессмертия входила киноварь. Из за этого в недомогании Простислава чудилось что то высокое, императорское, и Степе неловко было

заводить разговор о своих проблемах. Но, к счастью, рассказывать ничего не пришлось – достаточно оказалось упомянуть Сракандаева.

– А, Ослик Семь Центов, – вздохнул Простислав из под пухового одеяла, и его бледные скулы порозовели. – Тяжелый случай. Его даже свами Макананде показывали, когда тот в Москву приезжал. Макананда етот, значит, сказал, что ослику можно помочь, если найти его гипногештальт.

– Гипногештальт? А что это такое?

– Это внутренняя ось зла каждого человека. То, что делает нас такими, какие мы есть, независимо от воли и желания. Типа незаметно гипнотизирует в фоновом режиме.

– А пример можно? – спросил Степа. – Что им может быть?

– Да все что хочешь. Например, ребенок растет бандитом, потому что окно его комнаты выходит на афишу кинотеатра, где постоянно всякие гангстеры с пистолетами. Или девочка становится стриптизершей, потому что в серванте стоит статуэтка голой балеринки, на которую она смотрит с рождения, и так далее. Вот, значит, и у Сракандаева тоже где то есть такой гипногештальт, из за чего он… Ну ты понял. Но что это такое, никто пока не догадался. Пробовали его гипнотизировать…

Простислав замолчал и покачал головой, словно борясь с каким то мучительным воспоминанием.

– Ну? – спросил Степа.

– Баранки гну. Он сам так всех загипнотизировал, что вспомнить стыдно. Стали дальше думать. Обыскали дачу, квартиру – думали, может, у него там где ослик деревянный с детства остался. Ничего не нашли. Загадка. А че тебе то за интерес?

– Он мой партнер по бизнесу, – сказал Степа. – Надо же знать, с кем вместе рискуешь.

– Насчет бизнеса можешь не волноваться, – сказал Простислав. – Тут осел не ошибется. Смотри только, чтоб тебя самого не кинул, – он ушлый. Это я не в смысле ушей, хе хе…

Разговор с Простиславом запал Степе в душу.

«Вот оно что, – думал он по дороге в банк. – Выходит, „43“ – это мой гипногештальт. Ну, нашел. А дальше что? Что мне делать, когда я это понял? Я ведь вроде понял? Или не понял? Вот это как раз ясно не до конца… Надо уточнить у Простислава».

На работе уже никого не было. Степа вошел в кабинет и включил свет. Глаза остановились на плакате «Так Надо!» над рабочим столом, и он подумал, что восклицательный знак может сбивать всю настройку, превращая «34» в «35», и его стоило бы заклеить полоской белой бумаги.

На столе накопилась целая кипа бумаг. Степа обреченно вздохнул.

«Завтра с утра посмотрю, – подумал он, – Нет, завтра у нас это самое… Тогда в понедельник».

На вершине бумажной горы лежал сложенный вдвое розовый лист. Степа узнал письмо Сракандаева, которое велел отдать курьеру.

«Чего они, забыли, что ли?» – подумал он и взял его в руки. Оказалось, что оно успело побывать в «Дельта кредите» и вернуться назад – под его ответом было написано:

COOL COOL COOL!!!38

Снизу была подрисована ослиная морда, широко улыбающаяся, с зажмуренными от счастья глазами и какими то веселыми звездами, летающими вокруг по неровной орбите. В ослиной морде ясно читалось «43» – немного стилизованную четверку давали челюсти, а тройку – уши.
43

Господин Чжоу И должен был сидеть в последней комнате по коридору, это Степа знал твердо. Проблема заключалась в том, что последних комнат было две – справа и слева. Их симметрично расположенные двери упирались прямо в тупиковую стену, на которой был нарисован алтарь с седобородым духом покровителем, державшим в одной руке персик вечной жизни, а в другой – бумажный свиток, исписанный мелкими иероглифами. По бокам от духа покровителя летели по небу бессмертные даосы на белых журавлях. Изображение было очень старым, но сохранилось хорошо.

Над верхней границей алтаря остался еще более древний слой, на котором синела выцветшая надпись, сделанная головастиковым письмом. Степа заметил, что понимает не только значение каждого из знаков, но и общий смысл фразы. Больше того, он знал ее происхождение. Это было даосское изречение врата для вступления на Путь. Иероглифы означали:

«Лучше журавль в небе, чем … в …».

Два последних иероглифа стерлись, но все было ясно и без них. Степа вообще то уже начинал догадываться об этом и без древних даосов. Но размышлять на эту тему не было времени – надо было понять, в какую из комнат идти, правую или левую. Выбирать следовало быстро, потому что из за угла уже слышались ленивые разговоры, смех, военные песни Эминема, звуки торопливого совокупления, гудки машин и лай собак – словом, обычный шум погони. Наконец в одной из строк на свитке духа покровителя обнаружилось число «34», а рядом – указывающая вправо стрелка.

Господин Чжоу И сидел на полу в центре комнаты. На его лице была белая венецианская маска. Это Степа объяснил тем, что между Китаем и Венецией существуют торговые связи – венецианцы меняют маски на шелк. Догадку подтверждал наряд господина Чжоу И – он был в черном блестящем шелке, а его грудь украшал расшитый яркими узорами квадрат. Еще у него был

красный шарик на шапке. Перед ним стояли тушечница и кисть. Справа лежал короткий меч с желтой кисточкой, привязанной к рукояти.

– Здравствуйте, господин Чжоу И, – сказал Степа.

Маска поглядела на Степу овальными дырочками глаз, и китаец хлопнул в ладоши. Подумав, Степа тоже хлопнул в ладоши и улыбнулся.

В руках китайца появился лист бумаги, который он положил на пол перед собой. Затем он наклонился вперед и стал мелко трясти головой. Стало слышно металлическое дребезжание. Степа понял, в чем дело. Три монеты, с помощью которых производилось гадание, были у китайца прямо в черепе. Остановившись, господин Чжоу И взял в руки кисть и провел ею по листу.

Проделав эту операцию шесть раз, он поднял лист и показал его Степе. На нем была нарисована гексаграмма, состоявшая из четырех непрерывных линий снизу и двух прерывистых сверху. Степа хотел спросить китайца, что это значит, но тот показал ему кулак с двумя оттопыренными пальцами – знак «Victory», – а затем опять стал трясти головой, и звон монет сделался таким громким, что Степа проснулся.

Он сразу вспомнил, что сегодня за день. В первые секунды казалось, что дело еще можно замять или поправить, повернувшись на другой бок и заснув опять. Но тут зазвонил будильник, и последний путь оказался отрезан.

Степа поглядел на высокие жидкокристаллические цифры, увидел дату и окончательно убедился, что произошло именно то, о близости чего давно предупреждали логика и здравый смысл. Сделав несколько вдохов, чтобы не дать свинцовому ядру, качнувшемуся в груди, выкатиться наружу, он сел в кровати.

«Когда нибудь это должно было случиться, – подумал он. – Ну и вот. Что теперь? Ничего. Ведем себя спокойно. Главное дотянуть до вечера. Завтра легче будет».

Особых оснований для такой надежды не было, но ведь надо было во что то верить. Степа попытался заставить себя думать о чем нибудь нейтральном. Например, о китайце из сна. Он помнил даже его имя – «Чжоу И». Следовало выяснить, кто это такой, пока память была свежей.

Взяв мобильный, лежавший возле будильника, он набрал номер Простислава.

– Привет, Простислав.

– Привет, Степа! – бодро ответил тот, словно ждал звонка. – С днем рождения! Мне органайзер все про тебя уже пропищал. Сколько тебе – сорок три?

– Я не отмечаю, – сказал Степа. – Скажи, кто такой Чжоу И?

– Кто? – удивленно спросил Простислав.

– Чжоу И.

– Это не «кто», это «что». Одно из названий «Книги Перемен». Чжоусские перемены.

– А человека так могут звать?

– Ну только если очень надо. И за отдельную плату. А что?

– Так. Я, наверно, с Чжоу Эньлаем перепутал. Мне, представляешь, только что гексаграмма приснилась – четыре мужских внизу и две женских наверху.

– Ага, – сказал Простислав. – Номер тридцать четыре, «Мощь Великого».

– Какой какой номер?

– Тридцать четыре. Снизу триграмма «небо», а сверху – триграмма «молния». Типа как полыхнет, и думаешь – что это было? Очередь из Калашникова или разметка на шоссе? А это уже небо, во как. Хе хе хе. Я ж тебе ее объяснял, помню помню. Ты еще спрашивал, точно ли всем темным силам хана.

– Название я и сам припоминаю. Та ак. Интересно… Скажи ка, что это значит в практическом плане?

– В практическом плане? Сейчас. Сегодня у нас че, пятница? Значит, пятая черта… Чего там у нас на пятой позиции?

Слышно было, как Простислав зашелестел какими то бумагами.

– Вот. «Утратишь козла даже в легких обстоятельствах. Раскаяния не будет». Такой расклад устроит?

– Хм… В принципе подойдет, – сказал Степа. – Если, конечно, не шутишь…

– Не, не шучу.

Степа вспомнил, что собирался спросить Простислава еще об одном.

– Слушай, а помнишь, мы про гипногештальт говорили?

– Помню, – ответил Простислав.

– Я правильно понял, что самое главное – это его найти?

– Вроде да.

– А если ты его уже нашел, что дальше?

Простислав некоторое время думал.

– Дальше, как говорится, надо осознать его пустотность.

– Это как?

– Да вот прямо так взять и осознать.

– И что потом?

– Потом гипногештальт тебе ничего уже не сделает.

– Почему?

– Чего ж он тебе сделает, ежели ты осознал его пустотность?

– А. Ну да, конечно. Ладно, я, может, потом перезвоню.

Сложив телефон, Степа долго сидел на месте. Он догадывался, почему ему приснилась именно тридцать четвертая гексаграмма. Видимо, где то в складках памяти отпечатался ее внешний вид, и теперь, в тревожную минуту, психика мобилизовывала ресурсы, призывая на помощь все светлые силы.

Как бы там ни было, день начинался удивительно. В самом эпицентре зла распустился ослепительно белый цветок надежды. Какой то завораживающей древнеяпонской красотой веяло от этого. Лучшего подарка ко дню рождения придумать было нельзя.

Степа понял, что надо сделать – пойти в дзенский сад камней. Не давая порыву остыть, он оделся, вынул из шкафа обитую желтым шелком коробку, где лежал последний лингам победы, и положил его в карман куртки. Он не смог бы объяснить, зачем это делает, – просто показалось, что надо взять с собой магический ключ.

Ночью выпало много снега. Степа пошел по направлению к трем заснеженным пальмам, думая о словах Простислава про гипногештальт. Надо было срочно осознать его пустотность. Но как?

«Сорок три, – думал он. – Я боюсь этого числа. Это надо признать. Отсюда и вся моя нервозность. С другой стороны, почему я его боюсь? Оно ведь пустое – просто мысль в моей голове. Зачем бояться мысли? Это ведь бесплотная мимолетность. Ее нельзя ни остановить, ни удержать. Как зайчик на стене… Зайчик… Вот ведь бывают пидарасы на свете, а? „Семь центов, семь центов…“ Так, не отвлекаемся… Простислав говорит, все начинается с пустоты, и ею же кончается. Значит, число „сорок три“ по своей сути так же пусто, как это небо…»

Степа посмотрел в близкое серое небо. Оно действительно казалось пустым и бескрайним. Пустота начиналась слева и доходила до заснеженных пальм. Это был ее первый сегмент. Второй и третий размещались между стволами. И последний ломоть серого подмосковного ничего размещался между пальмами и правой границей зрения. «Четыре, – отметил Степа автоматически, уже чувствуя, что на него несется что то неотвратимо жуткое. – Четыре. Ну да, а стволы – три. Сорок три».

Сад камней, последний бастион сокровенного, пал так быстро, что Степа даже не заметил, как это произошло. Выйдя во двор, он направился к числу «34», ясно видному на границе белой земли и серого неба. Когда же он добрался до борта, расписанного разноцветными граффити, выяснилось, что пришел он к отчетливому до тошноты числу «43», хотя в мире за это время ничего не изменилось. У Степы мелькнула мысль, что если бы можно было спрессовать в тридцать секунд человеческую жизнь с ее юношескими надеждами и взрослыми разочарованиями, она оказалась бы чем то похожим на это путешествие от дома к саду.

Он увидел трех больших птиц, сидевших на бортике. Четко видные на фоне снега, они тоже излучали угрозу. Глядя на птиц, Степа попытался нащупать тот бесценный душевный механизм, который когда то превращал три темных выступа на светлом фоне в число «34», и уже, казалось, нашел его и привел в действие, когда новый страшный удар смел последнюю надежду. Степа понял, что птицы были сороками. Этих сорок было три.

Зарычав, Степа перевалился через борт и побежал к ним, размахивая кулаками. Птицы лениво поднялись в воздух и, сделав над садом камней круг, полетели в сторону дома. Степа остановился недалеко от пальм. Что то жуткое было в этих тропических деревьях, пусть даже пластмассовых, под тяжелыми шапками снега. Что то настолько несоединимое, немыслимое, невозможно жестокое и вместе с тем изначально русское, что Степа выхватил из кармана синий лингам, направил его в небо и с ревом сжал изо всех сил, как бы пытаясь выстрелить последней пулей в главную мразь невидимого мира, ответственную за все его муки.

И тогда высоко над его головой что то сверкнуло. А через несколько секунд донесся глухой раскат грома.

Степа остолбенел.

«Молния? – подумал он. – Наверно. Что же еще. Говорят, зимой бывает, только в землю не бьет. Типа из облака в облако… Что то сегодня было по этой теме… Ну конечно. Верхняя триграмма – молния! А нижняя – три пальмы!»

Поняв, что это действительно только что произошло, он задрожал от восторга. «34» и «43» обменялись ударами у него на глазах! «Он их высоких зрелищ зритель», – вспомнилась ему заученная в школе строка. Вот, значит, как они происходят – астральные битвы… Теперь, как в фильмах про великих фехтовальщиков, следовало дождаться, у кого первым отвалится голова.

Судя по вихрю мыслей и вычислений, его голова была в порядке. Больше того. Звенья головоломки, которая была занесена над ней минуту назад, вдруг сложились в ясную и обнадеживающую картину.

С тремя пальмами все было ясно – лежащая на боку триграмма «небо», три сильных линии. А триграмма «молния» была тем, что он увидел, открыв обитую шелком коробку: две пустые ячейки сверху и последний мистический ключ внизу. Гнезда от потерянных лингамов можно было считать слабыми линиями, это соответствовало словам Простислава о том, что тьма есть не самостоятельная субстанция, а просто отсутствие света.

Чтобы все линии всех триграмм сложились в только что явленную ему мощь великого, надо было, чтобы сперва из коробки исчезли зеленый и красный лингамы. А это значило, что в жизни нет ничего случайного. Получалось, все взаимосвязано и переплетено – Степа догадывался об этом давно, но чтобы до такой степени…

Смысл гексаграммы тоже сделался понятен: нижняя триграмма, «небо», была его внутренним сиянием, в котором выражалось личное светлое начало (понятно, что). А верхняя триграмма – молния – была проявлением этого света вовне…

Степа подумал, что надо бы записать число «34» двоичным кодом и посмотреть на результат. Он никогда не делал такого раньше. Почему то казалось, что именно такой совет давал господин Чжоу И, показывая два пальца. Но это можно было оставить и на потом. Сейчас куда интересней было другое.

Войдя в дом, он, не раздеваясь, кинулся на кухню, вытащил из ящика вилку и впился в нее глазами.

– Ах черт, – пробормотал он разочарованно.

Вилка по прежнему значила «43». Четыре зубца служили оправой трем тончайшим пробиркам с пустотой. Наоборот никак не получалось. Он бросил вилку назад в ящик, вынул три столовых ножа и положил их на стол. Пустая поверхность сперва разделилась на четыре части, а потом хлестнула его тройным хвостом. Перед ним было не просто «43», а «43» с тремя восклицательными знаками.

– Ах черт, – повторил он и понял, что в слове «черт» число «43» присутствует так же отчетливо: четыре буквы, три согласные. А если не так, то по другому – сначала четверочка, а потом три буквы… Здесь удивляться было нечему – чего еще было ждать от черта, кроме союза с главным злом.

Угнетало другое. Он понимал, что в саду камней с ним только что произошло что то очень необычное. Когда в небе ударил гром, он был на грани всеведения. Какая то сила позволила ему на секунду вынырнуть из океана зла, чтобы увидеть свет истины. В тот момент он сумел бы решить любую загадку, и невозможного для рассудка не существовало. Он мог увидеть все что угодно, даже пустотность гипногештальта. Догадайся он вспомнить об этом, и наверняка случилось бы что то чудесное, от чего рассеялись бы довлеющие над ним чары. Но, как назло, именно в ту секунду он совсем забыл про пустоту.

А теперь было поздно. Теперь пустым местом был он сам, а гипногештальт, поднявшись во весь свой сорокатрехметровый рост, шел в атаку. В одной руке у него была вилка. В другой – три ножа. И, хоть первые удары удалось отбить, сколько всего рук у демона, Степа не знал. Поэтому, когда зазвонил мобильный, он закрыл глаза и представил себе, что сидит в невидимом танке «Т 34», сквозь броню которого не может проникнуть никакое зло.

Это была Люся из бухгалтерии.

– Степан Аркадьевич, вам надо сейчас же приехать в банк, – сказала она звенящим от электричества голосом. – Контрольный отдел требует.

– Мюс не может вопрос решить?

– Мюс Джулиановны нет четвертый день, – ответила Люся. – Вам обязательно надо быть.

– Что случилось?

– Нельзя по телефону. Пожалуйста, приезжайте.

Степа посмотрел на свое отражение в зеркале и криво улыбнулся. Он уже много лет знал, что этот день будет непростым.

Когда машина выезжала со двора, он поглядел назад. Над заснеженными кустами была видна башня «тридцатьчетверки» и три птичьих силуэта. Одна сорока прохаживалась по стволу с порушенным заборчиком снега. Две других сидели на люке. Похоже, это были те самые птицы – просто взяли и перелетели.

«Десять тысяч ли за спиной, – подумал Степа. – А грабли все те ж…»
43

Beneficiary, то есть получатель, был обозначен так:

McGee International Inc.

29 Shirley Street,

P.O.Box CB 78575

Nassau, The Bahamas.

Закрыв глаза, Степа представил себе этого Мак Ги, которому так понравилось бухать на Багамах, что он решил открыть там свое темное дело. Сжав кулаки, Степа вообразил, как Мак Ги отхлебывает «Liqor 43» из хрустальной рюмки, пускает клуб сигарного дыма в потолок и чешет свой шотландский нос, размышляя, хорошо ли в последнее время работает его прачечная.

Счастье Мак Ги заключалось в том, что Степа был от него далеко. Рядом со Степой Мак Ги не просуществовал бы и двух секунд – Степа перегрыз бы ему горло, одновременно выдавив пальцами глаза.

Но Степа был по другую сторону океана, и Мак Ги мог расслабиться. За один оборот его прачечная отстирала тридцать пять миллионов долларов из далекой северной страны, смыв с них все

почтовые штемпели и сделав безнадежной любую попытку отыскать их. Так, во всяком случае, все выглядело на первый взгляд.

Уезжая в Петербург, он оставил Мюс подписанную платежку, чтобы та сделала взнос по «Зюзе и Чубайке», когда Лебедкин скажет, сколько и куда. Мюс сделала удивительно простую вещь – не дожидаясь звонка Лебедкина, вписала в графу «сумма» восемь цифр в следующем порядке: 35,000,000. А отправились тридцать четыре лимона и лимон вот куда:

ENIKI BANK LTD

LIMASSOL INTERNATIONAL BUSINESS CENTER

P.O. Box 09871

5, Sherley Str., 8745 Limassol, Cyprus

SWIFT: HEBA CY 2NLIM

Account 420 86 8297433 03

– Эники банк, – прошептал Степа, чувствуя, как по его щеке катится слеза, словно от горного ветра. – Эники беники ели вареники, остались от козлика рожки да ножки…

Вот, значит, что происходило в Москве в те минуты, когда влажные пальцы Сракандаева вынимали из его рук красный лингам победы и вкладывали в них памятный подарок – бандану с грязными ушами. Можно было вообще то ожидать. Оставалось только надеть эти уши и зареветь ослом. Но и это было бесполезно. Словосочетание SWIFT HEBA, похожее на название греческой трагедии в голливудском пересказе, не оставляло надежд ни на что.

С Эники банком, конечно, можно было связаться. Не было толку. Степа знал, как делаются такие дела. Точно так же можно было не трясти мистера McGee, этого циррозного подонка в пробковом шлеме. Денег в его заблеванном бунгало уже не было, как не было их и на счете 420 86 8297433 03 (Степа понимал, что перед ним число «43», только развернутое: между первой четверкой и последней тройкой сидела вся компания, прямо как в фильме «Чужие», где из пасти инопланетной твари лезла другая, еще более мерзкая пасть).

Все, что удалось бы раскопать, – это номера безликих и уже опустевших счетов, отряды восставших цифр, вооруженных короткими мечами дефисов и овальными щитами нулей. Эти цифры накинутся на Степу, окружат его и перережут ему горло, в этом сомнений было мало. Отвечать будет он.

Обвинять было некого. Не за что было даже перестрелять из помпового ружья сотрудников бухгалтерии – с тех пор, как «Санбанк» стал карманным банком «Ойл Эве», операции с похожими суммами проходили часто, и там к этому привыкли. Степа вообще мог не увидеть платежки до понедельника.

Мюс оставила письмо. Оно было написано на одной из серо коричневых перфорированных карточек, где она записывала частушки и прочий фольклор. Частушка за номером 209 (ну еще бы, цинично хмыкнул Степа) была, видимо, выхвачена Мюс из коробки наугад. Она была уже в переводе:

RE: festivity, celebrations, metalink#3

209

Come, Tatyana, in the dark.

We will eat and we will fuck.39

Хотелось верить, что эта пастораль была не о нем лично – Мюс не могла знать. Зато написанное на обороте послание содержало много личного. Так много, что даже непонятно было, как все поместилось в эти аккуратные бисерные строчки:

Нет, ты не Пикачу!

Почему ты так тщательно скрывал от меня свою озабоченность числом 34? Не потому ли, что это номер злого покемона по имени Nidoking? Это его зазубренный хвост ты так нелепо изображаешь заведенными за спину руками? Жирная, лживая жопа.

Не сомневайся, я замечала все твои издевательства, направленные на то, чтобы оскорбить мою культурно половую идентичность. Все твои ядовитые укусы сосчитаны. Когда, как бы между делом, ты называл лондонских панков личинками страховых агентов, или говорил, что «Aston Martin» – пидорская машина, или предлагал тост за величайшего из хоббитов – Гарри Поттера, все это падало в копилку. Но я бы простила тебе все эти инвективы, если бы не та садистская расчетливость, с которой ты регулярно оскорблял меня, напоминая о нашем национальном унижении – газете «The Sun». Я терпела это только потому, что собиралась отплатить за все сразу. И вот эта минута настала. Все кончено. Говорить больше не о чем – the discourse has shifted to the extent where you have to fuck off and die.

Bye, parent abuser

Meowth40

ЗЫ. Ты даже представить себе не можешь, какое это счастье – знать, что я больше никогда в жизни не услышу, как ты кричишь «Аллах Акбар!», бродя с Калашниковым по центральному Лондону в игре «The Getaway»

Вот, значит, как увидел его внимательным, но недобрым взглядом этот вчера еще самый близкий на Земле человек.

– И ты Брут, Мюс, – прошептал Степа. – И ты тоже.

Странно, но сильных эмоций не было – словно на высоком этаже души он уже знал про это, с того самого момента, как увидел в петербургском бреду ярко зеленое «77» и почувствовал, что оно одной злой природы с «66».

На столе зазвонил селектор.

– Степан Аркадьевич, вы в порядке?

– Я в порядке, Люсь, – сказал Степа. – Знаешь, что такое покемон?

– Знаю.

– Подготовь ка мне короткую справочку по покемону Nidoking, номер 34, и покемону Meowth, номер не знаю. И, заодно, про Пикачу.

– Вам когда?

– Вчера, как всегда. Соедини с Лебедкиным.

Лебедкин отозвался сразу.

– Здорово, – сказал он, – я тебе как раз звонить хотел. Есть серьезные новости. По Зюзе с Чубайкой финансирование развели. Пока не знаю, кого на тебя повесили. Но не ссы. Тянуть не один будешь. Короче, тебе встретиться надо будет по этому поводу с одним человеком…

Последовательность, в которой Лебедкин поставил Зюзю с Чубайкой, обнадеживала.

– Подожди, капитан, – сказал Степа. – У меня другой вопрос. У меня тут, похоже, капитальное кидалово. Деньги увели через Кипр. Много. Больше, чем могу переварить.

– И че, ты меня на Кипр хочешь за ними отправить?

– Да нет. Я думал, может, у тебя канал есть, как это отследить. Потому что я своими средствами не могу.

– Ты чего, – сказал капитан с веселым удивлением, – хочешь на Кипре бабки отыскать?

– Переведены через Кипр на фирму, зарегистрированную на Багамах, – сказал Степа. – Реквизиты есть.

– Ты даже получателя знаешь? Хотя да, на Кипре его указывают…

Капитан задумался.

– Позвони Сракандаеву, – наконец сказал он. – У него есть что то на Багамах, он через них уводит под семь процентов. Строго между нами, у него не только бизнес, а еще и база данных – где кто и кто чей. Мы у него сами справки наводим о финансовых террористах. Если кто знает, то он. Только не говори, что это я тебе сказал про Багамы, понял?

– Это и не ты сказал, капитан, – ответил Степа. – Это жизнь сказала. Слушай, а ты сам ему можешь раздать звоночек?

– И че, будем в испорченный телефон играть? Звони звони. Вы же это, партнеры. Я про телепроект, ты понял, хе хе хе хе…

Степа уставился в стол. Мыслей в голове осталось совсем мало. Страха не было. Его состояние больше всего походило на ступор или спячку. Вероятность того, что деньги удастся найти, приближалась к нулю, это было ясно с самого начала. С другой стороны, Лебедкин никогда не давал пустых советов, это Степа знал. Если у ослика была база данных по Багамам, он действительно мог отыскать какие то концы. Шанс был крохотным. Но все таки он был – а кроме него, Степа не видел ни одного просвета во тьме.

Звонить Сракандаеву было так мучительно тяжело, что Степа, наверно, согласился бы потерять деньги, будь они его собственными. Но то, что должно было начаться через несколько дней, было настолько невозможным, настолько чудовищным, что даже думать об этом было страшно. Степа догадывался, что люди, чьи деньги он потерял, сначала начнут стрелять, и только потом будут думать – если вообще будут. Хорошо, если сразу грохнут, без кипятильника в жопе…

Степа представил себе толстую проволочную спираль, наливающуюся быстрым румянцем, и в нем проснулся практический экзистенциалист, который прошептал: «Звони, кретин. Время идет!»

«Действительно, – подумал Степа, словно приходя в сознание, – время то идет!»

Он ткнул пальцем в селектор.

– Люся, Сракандаев телефон оставил?

– Да, Степан Аркадьевич.

– Соедини. Нет, лучше продиктуй. Я с мобильного позвоню.

«Хорошая девушка, – думал он, записывая числа на листе бумаги. – Если выплывем, посажу на дела вместо Мюс. Если выплывем…»

В трубке послышались гудки. Они были какие то странные – двойные, с долгой паузой. Степа не думал о том, что он сейчас скажет, надеясь, что слова придут сами.

– Сракандаев, – сухо сказала трубка.

– Жора?

– Кто это?

Степа молчал.

– Кто говорит?

Степа понял, что Сракандаев сейчас положит трубку.

– Это Танек, – сказал он, стараясь, чтобы голос звучал игриво и загадочно.

– Какой именно?

– Из Зазеркалья.

– А! А! Ужель та самая Татьяна? Степка, ты? Подожди, лапа, я другую трубку возьму.

Степа перевел дыхание. В трубке раздалась последовательность шуршащих и скребущих звуков, затем что то пискнуло.

– Але, – сказал Сракандаев.

– Чего там пищит?

– Не знаю, – ответил Сракандаев. – Ты куда пропал, старик?

– Да закатало.

– Ну что, завтра приедешь?

– Куда?

– На дачу. Я ж тебе написал. Я тебе своих зверюг покажу, поляну зимнюю.

– Какую поляну?

– Я тебе не говорил? У меня поляна есть зеленая. Типа как оранжерея, только там ничего не растет, кроме травы. Это еще и солярий. Круглый год можно на травке валяться и загорать.

– Жор, это все офигительно, – сказал Степа. – Но у меня тут проблема возникла, с которой только ты помочь можешь.

– Что случилось?

– У меня деньги увели.

Сракандаев молчал. Степа почувствовал необходимость сказать что нибудь личное, теплое, что переведет разговор из безнадежной деловой плоскости в согретую личными эмоциями зону, где иногда случаются чудеса.

– Подделали платежку, – продолжал он, лихорадочно подыскивая слова, – как раз когда мы с тобой в Питере волков разгоняли… В общем, Тане плохо.

– Куда увели?

– На Кипр.

– Там их, понятно, уже нету, – буркнул Сракандаев.

– Я думаю. Известен получатель – одна контора на Багамах, наверняка подставная. Мне сказали, ты можешь что то знать.

– Кто сказал?

– Люди, Жор, люди.

Сракандаев некоторое время думал.

– Шансов мало, – сказал он. – Но могу посмотреть. Давай реквизиты.

– Мак Ги Интернэшнл Инк, – прочел Степа. – Два девять Ширли стрит, пи о бокс…

– Не надо пи о бокс, – сказал Сракандаев. – Эту фирму я знаю. Какая сумма?

– Тридцать четыре ли… Тридцать пять лимонов.

– Так тридцать четыре или тридцать пять?

– Тридцать пять, – сказал Степа, чувствуя, как на лбу выступает ледяной пот, – тридцать пять.

– Перезвони минут через сорок–пятьдесят, – сказал Сракандаев. – Я посмотрю.

– А тебе точно пи о бокс не нужен?

– Точно.

Степа догадался, что значат эти «сорок–пятьдесят минут». Сракандаев мудро укрывал свое число силы в большом мягком футляре, где оно было защищено от черного глаза. А Степа только что

вывалил свою главную тайну на прилавок без всякой необходимости, просто по дурной неосторожности.

«Еще раз с днем рождения, идиот», – подумал он.

Чтобы как то занять время, он начал звонить Мюс. Никто не отвечал. Но Степа звонил снова и снова, каждый раз считая до тридцать четвертого гудка, перед тем как нажать отбой. Один раз он попал на чужой разговор – две женщины обсуждали погоду и болезни. Минут десять он слушал их счастливое, сонное щебетание, полное жалоб на какие то смешные маленькие напасти.

«Люди просто не понимают, – думал он, – до чего они счастливы. До тех пор, пока это счастье не отберут…»

Положив трубку, он уставился в окно – взгляд проваливался в лежащий повсюду снег. Это успокаивало. Степа почти задремал и вдруг заново вспомнил, что с ним произошло. Волна тошнотворной дрожи прошла по животу. Он поглядел на часы. Прошло чуть больше тридцати минут.

«Так, – подумал он, – бороться и искать, найти и перепрятать… А сделаем ка вот что – позвоним на тридцать четвертой минуте. Не думаю, что он время засекал…»

Дождавшись, пока секундная стрелка в настольных часах опишет последний круг, он быстро набрал номер. Сракандаев взял трубку сразу.

– Было дело, – сказал он без предисловий. – Тридцать пять лимонов.

– Что нибудь можно сделать? – сглотнув, спросил Степа.

– Смотря что, – сухо ответил Сракандаев. – Все вернуть не получится. Слишком много участников.

Степин ум заработал с необычайной быстротой.

– Я понял, – сказал он. – Конечно. Я согласен такой же процент отдать. Тот, под который люди… Ну, которые… Все начинали.

– Тогда можно попробовать, – сказал Сракандаев.

– А где деньги? На Кипре? На Багамах?

– Уже нет. Но я знаю, где.

– Что надо сделать?

– Приезжай ко мне в офис. Думаю, решим вопрос.

– Жор, ты это серьезно?

– Сегодня до двадцати четырех ноль ноль можно отозвать. Потом все. Даже я не смогу.

– Ты точно знаешь?

– Точно знаю.

– А как ты…

– Мак Ги – это моя компания.

«Вот так, – яростно крикнул чей то голос в голове у Степы. – Понял?»

– Как твоя? – сказал он.

– Так. Записана, конечно, не на меня. Сам понимаешь.

Степа минуту молчал.

– Слушай, Жор, – сказал он наконец, – вот все эти удивительные слова, которые ты мне только что сказал… Я вот думаю – неужели такие бывают на свете?

– Хочешь, чтоб я повторил?

– Эх, Жора… – Степа почувствовал, как на глаза ему наворачиваются слезы. – Я только сейчас понял, кто ты.

– Кто?

– Самый важный для меня на Земле человек…

Сракандаев хмыкнул.

– Кстати, насчет Мак Ги, – сказал он. – Ты Малюту знаешь, который нам телепроект делает? Он говорит, что часто с тобой общается.

– Знаю Малюту.

– Он для этой конторы даже рекламу придумал.

– Какую?

– «Но трогать ее не Мак Ги за ее малый рост, малый рост».

– А почему малый рост?

– Ну, в смысле, процент небольшой.

– Ну да, небольшой. Это семь то процентов?

– Чего? – напряженно переспросил Сракандаев.

Степа понял, что прокололся, и вывернуться будет тяжело – придется рассказывать про Лебедкина, и непонятно, как обернется дело… Но Сракандаев вдруг мелко захихикал.

– Тут ты меня подколол, – сказал он. – Один ноль. Думаешь, раз семь центов, значит, и процентов семь? Хи хи хи… Ну ты и язва, Степка, я тебе попомню… Нет, жизнь жестче. Десять.

– Десять? – переспросил Степа. – Да это ж грабеж.

– Грабеж, это когда у тебя тридцать пять лимонов уводят с концами. А когда ты десять процентов платишь, чтоб их вернуть, это чудо. Вот как думать надо. Во первых, ослик имеет право претендовать на упущенную выгоду. А во вторых, ты понимаешь, сколько людей в цепочке?

– Догадываюсь.

– Я же никого из них обидеть не могу. Мне с ними и завтра работать, и послезавтра. Я уже не говорю о том, что клиента кидаю. Он, правда, говно, клиент этот, и не со мной работал. Там еще посредник, которого я тоже кидаю.

– Его грохнуть надо, – не сдержался Степа, – клиента этого. И посредника.

– Э э э, так нельзя, – протянул Сракандаев. – Грохнуть и все поделить? Шариковых нам тут не надо. Пускай он тебя кинул, но ко мне то все по нормальным каналам пришло. Обычная трансакция. Бизнес. Ты подумал, чем я рискую? Не только тем местом, по которому ты скучаешь. А еще и головой, понял? Даже еще не факт, что все получится. Далеко не факт…

Степа быстро произвел вычисления. Три с половиной миллиона потерять было можно. Это был удар, возможно, даже нокдаун, но не нокаут. А вот тридцать пять миллионов – это был даже не нокаут, это был ствол «калашникова» в прямой кишке. И хорошо, если без подствольного гранатомета.

– Я тебя понял, Жор, десять так десять.

Сракандаев молчал.

Может быть, он уже жалел о своей ошибке? Степа укусил себя за щеку так, что почувствовал вкус крови во рту. Нужно было срочно подкинуть пару веток в костер разговора, но, как назло, ничего не приходило в голову. Степа стал лихорадочно припоминать, какие советы на этот случай давал Дейл Карнеги в книге «Как приобретать друзей». Вспомнилась заповедь – интересуйтесь людьми.

«Надо что нибудь такое срочно спросить, – подумал Степа, – чтобы перевести разговор в дружеское русло…»

– Слушай, Жор, может, не по теме. Я тебя все спросить хотел – что это у тебя за цифры на плече? Триста шестьдесят шесть?

– Число здорового зверя.

– Ага. А что такое семь центов?

– Пока что ты еще не такой близкий мне человек, – ответил Сракандаев. – Позже расскажу. Может, сегодня вечером. Ты дорогу помнишь?

– Да.

– Тогда двигай ко мне прямо сейчас, пока я добрый. Делов то немного – звонок сделать да код ввести. Потом пошалим, если время останется… Нет, Степка. Сперва пошалим. А потом дела.

«Ты смотри, Карнеги то работает, – подумал Степа. – А люди не верят…»

– Когда на Багамах полночь? – спросил он, глядя на часы.

– Приедешь, покажу, – хихикнул Сракандаев. – Давай, жми на газ, а я пока подготовлюсь к встрече. Только рясу эту с бородой не надевай, ладно? Один раз классно было, ну и хватит.

– Понял, – сказал Степа.

– И вот еще. Тебе от меня пакет приходил, ты прочел?

– Тут гора бумаг, меня долго в офисе не было.

– Короче, найди там пакет от меня и прочти по дороге. Это важно. Жду.

– Уже еду, – сказал Степа.

Бросив трубку, он еще раз посмотрел на часы, сгреб в портфель всю корреспонденцию со стола и нажал кнопку селектора:

– Срочно машину!

5

Пакет, о котором говорил Сракандаев, был большим желтым конвертом без почтовых штемпелей – его тоже доставил курьер. Он был легким – похоже, внутри лежал небольшой предмет вроде зажигалки или флакона духов.

Отъехав от банка, Степа на всякий случай передвинулся за спину шофера – кто его знает, что прислал ослик, – и оторвал перфорированный край. Ему на колени выпал баллончик спрея, густо покрытый маленькими иероглифами. Кроме иероглифов, баллончик был украшен портретом

сурового пожилого китайца в круглых очках. Степа повертел флакончик в руках – ни одного понятного слова или даже символа на нем не нашлось. Тогда он еще раз заглянул в конверт. Оказалось, там была записка:

Пика,

Есть вещи, которые надо обсудить один раз, чтобы потом навсегда забыть. В тот раз в Питере все было дивно. Если не считать того, что от боли я чуть не заехал копытом тебе в лоб. Карамба! Разве ты не знаешь, какое это чувствительное место – анал? Ты что, хочешь отправить ослика на тот свет? Зачем тебе это дилдо? Вещица, конечно, неплоха. Но лучше танцевать без костылей, особенно танго.

Поэтому рискну сделать одно предположение. Если мимо, сразу забудь. Может быть, у тебя проблемы с эрекцией и ты боишься меня разочаровать? Глупый. Для меня в отношениях это совсем не главное! Но на всякий случай вот тебе спрей. Эта штучка будет посильнее виагры – правда, чуть пощипывает. Если Танечка думает, что знает об эрекции все, она будет очень удивлена. Спрысни головку члена за полчаса до action, и мы спокойно облетим с тобой все небо, мой электрический зверь.

Снизу был подрисован знакомый ослик. Сейчас он показался Степе добрым, умным и удивительно милым животным. Под осликом было добавление:

P.S Ясное дело, двум джентльменам совершенно не обязательно поднимать эту тему в разговоре.

«Надо запомнить, – подумал Степа, – не ляпнуть ему чего про „Астон Мартин“… А это еще что такое?»

Он повертел в руках флакончик. Сегодня Сракандаева нужно было слушаться, как маму в детстве. Степа поднял глаза на спину шофера. Увидит? Или не увидит? Лучше было не рисковать.

– Сколько ехать еще? – спросил Степа.

– Если пробок не будет, минут двадцать. А с пробками весь час.

– Тормозни где нибудь, – сказал Степа. – У кафе или ресторана. Мне выйти на пять минут. Отлить.

Шофер остановился возле небольшого кафе под названием «Прелюдия» – очень подходит, подумал Степа, выходя из машины.

Туалет внутри, к счастью, нашелся. Степа брезгливо проделал требуемую процедуру, и сразу почувствовал жжение, которое с каждой секундой делалось все сильнее. Вернувшись в зал, он заказал чашку кофе и выпил ее у стойки, разглядывая артефакт советских времен – огромную чеканку, изображающую грустного витязя с луком в руке и поверженную стрелой лань.

– Чего так морщитесь? – спросила буфетчица. – Кофе наше не нравится? Или картина?

– Зуб болит, – соврал Степа.

Ставя чашечку на блюдце, он заметил, что у него дрожат пальцы.

«Нервы ни к черту», – подумал он.

Когда он вернулся в машину, внутри играло радио. Боря Маросеев пел английскую версию стратегического хита «Тату», чуть приспособленную под его хриплый баритон: «All the thing he has running through my ass…»41 Его голос был полон боли и тоски по несбыточному – выходило грустно и как то по особому проникновенно. Отметив, что переделка не вполне грамотная (правильнее было бы «the whole thing he has», Мюс поправляла его, когда он делал похожую ошибку), Степа вдруг вспомнил, что у слова «ass» в английском есть два значения – «осел» и «жопа».

– У у у! – промычал он и хлопнул себя ладонью по лбу. – Так это жопа семь центов! Вот как ларчик открывается!

– А? – испуганно повернулся к нему шофер.

Степа прокашлялся и сделал серьезное лицо.

– Ты чего радио включил? – спросил он.

– А сейчас из банка звонили, Степан Аркадьевич. В общем, им там тоже кто то позвонил, я не понял, вроде из «Дельта кредита», куда мы едем. Короче, просили включить «Авторадио» – сказали, там сейчас сюрприз для вас будет.

– Сюрприз? Для меня?

– Ну да.

– И чего?

– Вот играет, – водитель кивнул головой на светящийся синим щиток магнитолы. – Но сюрприза пока не было.

– Ну и поезжай спокойно, – сказал Степа, – послушаем по дороге.

После Бори запел неизвестный Степе исполнитель – у него был низкий, как у Воланда, голос, а текст был таким замысловатым, что Степа перестал слушать и погрузился в раздумья.

«Даже и не только „осел“ и „жопа“. Кажется, там еще одно значение есть – человеческая личность в ее сексуальном аспекте… I want some ass tonight… Kick some ass… Уж больно глубоко выходит. Интересно, сам он до такого додумался или какого нибудь Малюту нанял? Сейчас ведь что

квартиру обставить, что душу – со всем помогут, был бы лавандос… Так, секундочку… Но ведь душа – это вроде ты и есть? Для кого же ее тогда обставляют, раз становишься просто табуреткой? Наверно, для того, кто на табуретке сидит. А кто это? Зюзя говорит, кто то невидимый, но с очень тяжелой жопой. А Чубайка надеется, что эта жопа – он сам… Господи, всюду жопа… А еду то куда? Нет, лучше не думать, не то из бизнеса уходить придется. А мы еще повоюем за место под солнцем, нас так просто не возьмешь…»

Песня доиграла только до середины – когда низкий голос пропел слова: «And then you slip into a masterpiece», далекая рука убрала звук. Напористо затараторил диск жокей, стараясь втиснуть как можно больше болтовни в дорогие эфирные секунды:

– Какая глыба, какой матерый человечище! Это был Леонард Коэн, который вляпался в очередной шедевр – примерно так можно перевести слова прозвучавшей песни. А сейчас для тех, кто в дороге, мы хотим передать маленький привет от осла Жоры. Только что порадовавший нас Леонард Коэн в свое время посвятил нашей следующей исполнительнице такие слова: «giving me head on the unmade bed», что в дословном переводе значит: «ты давала мне голову на неубранной кровати». На досуге подумайте сами, что делали на этой кровати Джанис Джоплин и Леонард Коэн! А для тех, кто уже понял, – бессмертный хит «Me and Bobby McGee» в исполнении той самой Джанис Джоплин! Леонард Коэн, выходит, был в ее жизни не первым кавалером. Итак, «Me and Bobby McGee» по заказу осла Жоры для тех, кто в дороге… В дороге куда? К сожалению, уже поздно спрашивать об этом осла Жору. Поэтому напомним дорогим слушателям, что на этот счет существуют разные мнения. По одному, все дороги ведут в Рим. По другому – все они ведут в никуда… Противоречие здесь только кажущееся, если вспомнить, что место, где мы находимся, дорогие радиослушатели, и есть третий Рим!

Последние слова диск жокея утонули в музыке.

Заиграла одна из тех бесчисленных американских песен, которые не вызывали в Степиной душе никакого эмоционального отклика – наверно, надо было иметь за спиной иное детство и юность, чтобы ощутить хоть какой то резонанс. Сначала он разбирал только отдельные словосочетания штамповки: «everything we done», «secrets of my soul» и что то в том же роде, а затем стала повторяться строка, в которой, несомненно, было заключено все послание:

«Freedom's just another word for nothing left to lose»42.

Эти слова женский голос выводил отчетливо, так, что ошибиться было нельзя. Но было еще одно слово, которое Степа ясно понимал. Куда более важное и значительное слово, чем все, что волновало Джанис Джоплин. Это было само имя «McGee». Его певца выкрикивала, как глагол в повелительном наклонении: «Моги! Моги! Моги и и», отчего в песне появлялось что то ницшеанское.

Степа подумал о том, что ему сейчас предстоит. Это было, конечно, неподъемно. Но по сравнению с другими вариантами грядущего этот был сказкой.

– Моги, Степа, – прошептал он себе. – Ох, лучше моги…

Песня кончилась, и пошла рекламная вставка.

– Степан Аркадьевич, – нарушил молчание шофер, – а можно спросить?

– Валяй.

– Я вот думаю, как интересно получается. Смотрите, тысяча миллиметров – метр. Тысяча миллиграммов – грамм. А тысяча миллионов? Выходит, он?

– Логично, – согласился Степа. – Он и есть.

Довольный, что развлек шефа, шофер засмеялся.

– Подъезжаем, – сказал он. – Вон тот поворот. Последний.

– Да, – сказал Степа. – Как это в песне – заезжайте за ворота и не бойтесь поворота…

– Как раньше пели! – пробормотал шофер. – Не то, что сейчас. Почему так?

– У слов смысл изменился, – ответил Степа. – Они вроде те же самые, но значат теперь совсем другое. Петь их сложно стало. Если это не твой бизнес, конечно.

– Точно, Степан Аркадьевич, – вздохнул шофер, закручивая руль к цели, – совершенно точно говорите.

Когда машина поравнялась с будкой охраны у знакомых ворот, по радио тихо запел Гребенщиков:

Меня зовут семнадцатый Идам43.

Меня вы знаете сами

По чаше с кровью, девяти ногам

И скальпу с волоса ами…

Слова были мрачноватыми, и, как это частенько случалось у Гребенщикова, не до конца понятными, но появление числа «17» (тридцать четыре деленное на два) было превосходным знаком. Именно такого проблеска света и не хватало перед жутким испытанием впереди. Степа почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы.

«Спасибо, Боб, – подумал он. – Ты единственный не продался…»

Но на всякий случай он вылез из машины побыстрее – вслед за семнадцатью в песне мелькнула непонятная девятка, а это значило, что дальше могли пойти и другие числа.

Кабинет Сракандаева был просторной комнатой с плотно занавешенными окнами и огромным количеством изображений осла – можно было подумать, что это какое то ослиное святилище. Особенно впечатляли натурализмом эстампы с ослом из мультфильма «Шрек» в разных фазах экстатического танца.

Слева от входной двери стоял рабочий стол с двумя мониторами и клавишной доской. На его краю белела плоская тарелка с горкой порошка, двумя бритвами и свернутой банкнотой в пятьсот евро. Между окнами помещалась этажерка с керамическими статуэтками, где тоже преобладали ослы (печальная очкастая обезьянка и похожий на Жириновского воробей были явно добавлены для плюрализма).

Справа от двери стоял мохнатый греческий диван. Напротив нависала бронеплита встроенного в стену сейфа – его дверь была приоткрыта, и за ней виднелась обивка из красного бархата, намекающая на богатство и тайну. Пол был покрыт ковром, рисунок на котором изображал золотых рыбок, плавающих среди темно зеленых водорослей.

На краю ковра расплывалось темное пятно. В этом пятне, привалившись спиной к стене, сидел мертвый Сракандаев. Его мозги веером покрывали стену в полуметре над головой – словно кровавая блевотина, раскатанная ветром по дверце автомобиля. Труп был совершенно голым, если не считать белых чулочков и головной повязки с ушами, когда то тоже белыми, а теперь набухшими кровью.

Глаза Сракандаева умудренно и таинственно смотрели на ковер, покрытый рваными ошметками красной резины. В метре от его подогнутой ноги стоял гипсовый бюст Путина. Рядом лежал стальной цилиндр стреляющей ручки. В воздухе пахло порохом, кровью, вечностью и свободой.

– Когда? – спросил Степа.

– Только что, – сказала заплаканная секретарша. – Пяти минут не прошло. Сейчас Лебедкин будет, я уже позвонила. Что вы так морщитесь?

– Да глаза щиплет. Где у вас туалет?

Когда Степа вышел из туалета, приемная кишела озабоченными людьми. С ними приехали похмельный Лебедкин и тот самый человек в форме войск связи, которого Степа видел в «Якитории» в день прощания с Мусой и Исой. Но теперь на нем были погоны полковника, и Лебедкин держался с ним очень предупредительно.

– Ничего не предвещало, – рассказывала секретарша. – Он был в отличном настроении – вышел из кабинета, велел полить цветы и предупредил, что сейчас приедет Степан Аркадьевич. Сказал взять пальто и немедленно провести его в кабинет, у них там какое то срочное дело было. Потом закрыл дверь и стал готовиться к встрече. Минут через двадцать закричал: «Татьяна! Татьяна!» Потом раз пять прокричал как обычно. Кричал громко, я услышала через звукоизоляцию. А еще через несколько минут что то хлопнуло…

– После того, как он закрылся в кабинете, кто нибудь звонил? – спросил Лебедкин. – Я имею в виду, непосредственно перед тем, как крикнуть «Татьяна»?

Секретарша отрицательно покачала головой.

– Бля, прямо Маяковский, – мрачно сказал полковник связи.

Степа сомнамбулически прошел в кабинет и встал в сторонке, наблюдая за суетящимися криминалистами. Один пинцетом собирал с ковра кусочки красной резины и укладывал их в прозрачный пакет. Другой фотографировал Сракандаева под разными углами, и вспышка каждый раз расцвечивала пятно на стене тошнотворными мокрыми бликами. Третий рылся в сейфе, иногда поворачиваясь, чтобы показать остальным находки – пакетики белого порошка, плотные пачки евробанкнот, несколько пар разноцветных ушей на эластичных повязках.

Степа уставился на рыжее пятно на стене. Оно казалось картой таинственного архипелага, местом, где располагался офшор загробного мира. Там стояло бунгало старого алкоголика Мак Ги. Туда ушли Степины деньги. Теперь эта земля была навсегда отрезана от мира людей, как мистический Авалон. Где то там, на одном из мокрых пятен, на берегу неведомого острова бились в последних конвульсиях цифры кода, который следовало куда то ввести. На другом островке высыхал и исчезал номер телефона, по которому надо было позвонить. А единственный человек, который мог свести эти числа вместе, наполнить их смыслом и силой, был уже ни на что не годен. Но Степа все никак не соглашался в это поверить – как будто, пока он не верил, оставалась надежда.

Рядом остановились полковник связи и Лебедкин. Они тихо обсуждали случившееся.

– Растрата? – спросил полковник.

– Исключено.

– Несчастная любовь?

Лебедкин покосился на Степу.

– Да вроде нет, – сказал он. – На этом фронте все хорошо было. Насколько я знаю.

Полковник тоже посмотрел на Степу.

– А это кто? Что здесь делает?

– Я… – начал Степа.

На помощь пришел Лебедкин.

– Да это Степа из «Санбанка». Вы с ним уже встречались, Владимир Михайлович. Жорин партнер. Он за консультацией пришел. По офшорной проблематике.

– Тот самый Степан Аркадьевич, про кого секретарша говорила?

Лебедкин кивнул.

– Понятно, – сказал полковник. – Получается, вообще никаких зацепок.

– Может, просто обнюхался? – предположил мужчина в штатском и кивнул на стол.

– Сомнений мало, что обнюхался, – сказал Лебедкин. – Нюхал он постоянно.

– Анализ, конечно, покажет, сколько он принял, но это явно не объяснение, – сказал полковник. – А откуда этот елдак резиновый?

Лебедкин пожал плечами.

– Да у него полный сейф таких игрушек. Кнуты, хомуты, упряжь какая то… Я другого в толк не возьму, зачем он его на ствол надел?

Полковник криво усмехнулся.

– Это я как раз понимаю. От сердечного омерзения. Видать, крепко его люди обидели. Сейчас многие так делают… Ну не так именно, конечно. Каждый по своему. Как бы прощальный горький упрек. Мол, хотели меня достать? Получите, сам все сделаю. Вон, на той неделе один нефтяник, фамилию называть не буду, повесился. Все новости смотрели… Только в новостях не сказали, что он, перед тем как повеситься, вырезал себе бритвой на лбу слово «киркук».

– Что такое «киркук»?

Полковник развел руками.

– В словаре Ожегова нет. Бандиты тоже так не говорят. Только сам он и знал, наверное. Я думаю, символ того, что угнетало его психику. Да по звучанию уже можно понять. Типа как «кирдык», только совсем совсем без надежды. Время жесткое, душа дымится, как тормозная колодка. Вот и не выдержал.

У Степы в кармане зазвонил мобильный. Он отошел в сторону и поднес его к уху.

– Але.

Это была Люся из бухгалтерии.

– Степан Аркадьевич, докладываю, – заговорила она, глотая слова от волнения. – Покемон Meowth, номер пятьдесят два. Это такая кошечка, очень симпатичная. Будете смеяться, похожа на Мюс Джулиановну. Такие же стрелки торчат из прически. Или из шерстки, не знаю, как правильно. Обожает круглые вещицы. По ночам бродит по улице, подбирая оброненные вещи. Если Meowth находит круглую вещицу, она не может перестать играть с ней, пока не заснет. Особо любит монеты, которые собирает в клады.

– А круглые суммы тоже любит? – спросил Стела.

– Об этом информации не было, – ответила Люся.

– А как тогда понимать шестьдесят шесть? Что, для отвода глаз? Или просто два кружочка с хвостиками?

Полковник связи посмотрел на него и что то сказал Лебедкину.

– Простите, Степан Аркадьевич? – напряженно спросила Люся.

– Нет, ничего. Давай дальше.

– Пикачу, номер двадцать пять. Это электрический покемон. Жарит орешки и твердые ягоды с помощью электричества, чтобы они стали мягкими и их можно было разгрызть. Поднимает хвост, чтобы проверить свое окружение… Тут я не поняла, что имеется в виду. Иногда при этом в хвост бьет молния.

– В курсе, – буркнул Степа.

– И ваш любимый номер. Тридцать четыре. Нидокинг. Это грозный покемон. Он использует свой могучий хвост, чтобы свалить свою жертву, задушить ее, а затем переломать ей кости. Его хвост настолько силен, что он без труда может перебить им позвоночник врага. Это все, что я пока нашла. Нужно что нибудь уточнить?

– Нет, – ответил Степа, сложил телефон и спрятал его в карман.

Подошедший Лебедкин обнял его за плечи.

– Знаешь что… Езжай ка домой, выпей, успокойся. Нечего тебе тут делать. Не мешай осмотр проводить.

Степа провел языком по сухим губам.

– Надо было код ввести, – сказал он, глядя на рыже красную карту денежных островов. – Лебедкин, мы бы десять раз успели до полуночи. Ты можешь себе представить, а? Всего один звонок по телефону… А теперь что мы имеем? От мертвого осла уши. И те к делу пришьют. Типа замкнутый круг. Безвозвратно. Знаешь, как это пятно мозгов на стене называется? Архипелаг Гуд Лак… Или нет, я с доктором Гулаго путаю…

Лебедкин недоверчиво покачал головой. Потом морщина на его лбу разгладилась, будто он что то понял.

– Говорил ведь тебе, не нюхай эту дрянь, – сказал он тихо. – Ой, Степа… Как брата тебя прошу – остановись, пока можешь. Сам видишь, что с человеком происходит. Сначала становишься пидарасом. Потом холуем. А потом…

Лебедкин кивнул в сторону ковра.

– Да чего я тебе объясняю, все ведь перед глазами.

Он вдруг нахмурился и поглядел Степе на штаны, где бугрилась заметная выпуклость.

– На что это у тебя хуй встал, а? – спросил он с отвращением. – Совсем что ли совесть потерял, изверг?

360

Над словами «Табуретовка ™ (та самая!)» был нарисован табурет. На нем сидел насупленный Зюзя, в ватнике и резиновых сапогах, с мормышкой в руке. Улыбающийся Чубайка, предупредительно изогнувшись, стоял рядом с подносом в руках; на подносе была бутылка, на которой можно было различить две крохотные фигурки в тех же позах: одну на табурете, а другую, изогнувшуюся, – с подносом. Подразумевалась бесконечность.

С другой стороны бутылки была наклейка поменьше, со слоганом «Семь раз фильтруем базарчик ™!» и неровным столбиком текста. («Размещенные прямо на бутылке отрывки из диалогов, знакомых по эфиру и газетам, – объяснял Малюта в концепции, – помогут потребителю отождествить продукт с бутилированной телепередачей, вовлекая его в непрерывный цикл потребления, что и является главной задачей 360 градусного маркетинга с использованием главных российских масс медиа – водки, телевидения и газет».)

Отрывок на наклейке был созвучен Степиному настроению:

З: «Знаете, Чубайка, что такое история России в XX веке? Страна семьдесят лет строила лохотрон, хотя никто толком не знал, что это такое и как он должен работать. Потом кто то умный сказал: „Давайте его распилим и продадим, а деньги поделим…“

Ч: Может быть, не все в нашей истории так мрачно и бессмысленно, Зюзя? Может быть, вы просто пропустили момент, когда лохотрон заработал?»

«З» и «Ч» стояли на этикетке в правильной последовательности. Только это совсем не радовало. А вилка, которой Степа выковыривал креветок из ледяного салата, совсем не портила настроения, несмотря на четыре зубца. Испортить его было нельзя.

С утра Степа наблюдал интересный и жуткий эффект, похожий на полное солнечное затмение. Он заключался в том, что число «34» больше не содержало в себе ничего, греющего душу. Обращаться к нему было бесполезно – Степа знал, что оно полностью исчерпало свою светлую суть. Точно так же и в числе «43» теперь не было ничего пугающего. Столько же эманаций зла исходило от любого другого сегмента мироздания.

Он понимал, как все произошло. Это было похоже на поединок Пересвета и Челубея, поразивших друг друга насмерть: числа взаимно аннигилировали, исчезнув во вспышке света. Вслед за вспышкой пришла тьма, в которой Степа и находился. Затмение обещало быть не только полным, но и окончательным, потому что свету неоткуда было взяться. Разве что из телевизора.

На его экране беседовали трое: бритый наголо татарин в майке с надписью «KIKA», отечная женщина с красными волосами и юный морячок – тот самый, которого Степа видел в клубе «Перекресток». Москва прощалась со Сракандаевым.

– Что больше всего поражало, – запинаясь, говорил морячок, – это его наблюдательность, его удивительно глубокое понимание искусства. Во время нашей последней встречи мы целый вечер говорили о пьесе Родиона Ахметова, которую перед этим смотрели – это, как вы знаете, спорное и даже скандальное произведение. Мне оно показалось фарсом. Но Жора сказал, что это невероятно глубокая вещь, настоящий шедевр. И, можете себе представить, за несколько минут он меня убедил. Я и не понял, что Царственный на самом деле был доктором Гулаго! Только когда Жора сказал об этом, я вспомнил, что Царственный во время экзекуции восклицал: «Unlucky, eh?» – точно так же, как доктор Гулаго бормотал в первом акте!

– Потрясающе! – сказала красноволосая женщина.

– Но это еще не все. Жора сказал, что разноцветные огни, которые освещают сцену во втором акте, – помните, там все то зеленое, то синее, то красное? – так вот, эти огни указывают, что действие происходит в Бардо, где мертвый Бонд пожинает плоды своих земных дел. Потому что на самом деле он замерз в Беринговом проливе, когда пытался проехать на своих бультерьерах к ледяной избушке доктора Гулаго! А соблазненная помощница доктора Гулаго была самим доктором Гулаго, который направил Бонда по неверному маршруту. Я спросил – а почему доктор Гулаго тоже оказался в Бардо? Да потому, сказал Жора, что Буш получил корм для мартышек. Помните эту секунду, когда гаснет освещение, а потом зажигаются оранжевые лампы? В Бардо оказался не только доктор Гулаго. Там оказался весь зрительный зал. И никто не вспомнил, сказал Жора с какой то просто разрывающей сердце грустью, что в Бардо надо идти к свету. Никто – ни в зале, ни на сцене… Никто… Эти слова так потрясли, так напугали меня, что мне стало дурно, и Жориным спутникам пришлось везти меня домой…

– Он предчувствовал! – сказал женщина. – Он знал! Теперь это совершенно ясно. Действительно, в последнее время Жора интересовался духовными вопросами – видимо, ощущал приближение конца. Говорил, что заново открыл для себя Библию. Помню, с удивлением повторял: «Со всеми заповедями согласен! Вот только не пойму, почему любовь грех…»

Степа переключил программу и увидел Зюзю с Чубайкой. Анимационная группа успела среагировать на весть о трагедии – на рукавах Зюзи и Чубайки были траурные повязки, причем у Зюзи она была с красной полосой посередине. Одетый в бархатный халат Чубайка лежал на диване, покуривая кальянчик, а Зюзя в мокром ватнике стоял неподалеку и время от времени ударял лбом о стену, производя глухой загадочный звук.

– Знаете, Чубайка, – говорил он в промежутках между ударами, – наше общество напоминает мне организм, в котором функции мозга взяла на себя раковая опухоль!

– Эх, Зюзя, – отвечал Чубайка, выпуская струю дыма, – а как быть, если в этом организме все остальное – жопа?

– Чубайка, да как вы смеете? – От гнева Зюзя ударил головой в стену чуть сильнее.

– Зюзя, ну подумайте сами. Будь там что то другое, опухоль, наверное, и не справилась бы.

– Так она и не справляется, Чубайка!

– А чего вы ждете, Зюзя, от опухоли на жопе?

На следующем канале был поэтический вечер. Выступал седой титан шестидесятник Арсений Витухновский. Махая в воздухе кулаком (что делало его слегка похожим на Зюзю), он читал:

Плачьте, бинокли и трубы подзорные!

Скушали ослика волки позорные.

Не доиграв, он уходит со сцены.

В черную щель закатились семь центов…

«А этот откуда про семь центов знает? – подумал Степа, переключая канал. – Хотя да…»

– …невероятно разносторонняя натура, – затараторила красноволосая женщина. – Знаете, офис у Жоры находился на улице Курской битвы. Не знаю, по этой причине или нет, но он уже долго работал над экспериментальным романом о крупнейшем танковом сражении Второй мировой. Его мыслью было увидеть великие дни нашей истории глазами Достоевского…

– Да да, – перебил морячок. – Роман назывался «Приказание и наступление». Он рассказывал, что ему помогают два текст билдера, но на какой стадии проект, не уточнял…

– Кроме того, – неприязненно покосившись на морячка, продолжала красноволосая, – он рисовал картины и писал музыку. Короче, обеспечивал работой человек пятнадцать. Помните его любимую поговорку? «Красота спасет мир и доверит его крупному бизнесу!» Если бы все наши банкиры были такими, мы бы жили при втором Возрождении!

– Да, энергии ему было не занимать, – вздохнул морячок и почему то покраснел.

– Но откуда она бралась? – спросила женщина. – В чем была его, так сказать, основополагающая мотивация? Может быть, вы скажете, Насых Насратуллаевич?

– Я? – переспросил бритоголовый Кика с таким видом, словно его обидело это обращение. – Извольте. Но это трудная тема. От нас ушел не просто чей то друг или партнер. От нас ушел Алеша

Карамазов русского бизнеса. Он был не просто яркой, глубокой и страстной личностью. Он осознавал себя как капиталист. И был полон решимости доказать, что капитал может все. Ах, если бы кто нибудь записывал за ним его слова! Со временем вышла бы книга, достойная лечь на чашу весов напротив «Капитала». Как помогла бы нам она в эти трудные годы! За все свои дары человечеству, говорил Жора, капитал хочет совсем немного – чтобы мы согласились забыть себя, играя простые и ясные роли в великом театре жизни. Но где взять на это сил? Здесь, полагал Жора, может помочь только стоицизм. Сила обретается в постоянстве внутреннего жеста, который может быть произволен, но должен переживаться на сто процентов всерьез… И слово у него не расходилось с делом. Единственное, в чем я иногда по товарищески упрекал его, это в том, что он чересчур полагается на своих концепт стилистов, хоть все они были художники с мировыми именами. Жора, говорил я ему, ну посмотри, во что они тебя превратили! Как ты не понимаешь, что современный художник – просто презерватив, которым капитал пользуется для ритуального совокупления с самим собой? Почему ты так слепо веришь этим штопаным гандо…

– И что он отвечал? – торопливо перебила женщина.

– Он смеялся. В этом и дело, говорил он. Смысл жизни только в самовыражении. Но у бизнесмена не может быть иной самости, кроме капитала. А лучшие формы самовыражения капитала дает современное искусство. Так почему не сделать произведением искусства всю жизнь, превратив ее в непрерывный хэппэнинг? Я спрашивал – но зачем же именно так? А он говорил – помнишь, как это у Пастернака: «И чем случайней, тем вернее…» С ним невозможно было спорить на эту тему, за ним надо было записывать, записывать, записывать…

Степа щелкнул пультом и опять попал на поэтический вечер. Теперь на сцене стоял другой пушкин, похожий на Чубайку. Он был одет в расшитую васильками рубаху навыпуск. Застыв в характерной для театра Кабуки позе, он медленно разводил поднятые над головой руки, словно разрывая на две половины невидимый парус:

Пахнет сеном тропинка в навек наступившее сатори,

Над тесемкой смешною уже не рыдают смычки.

Только совесть страны, академики Познер и Сахаров,

Все никак не протрут запотевшие кровью очки…

Степа поморщился от ассоциаций, которые возникли у него со словом «очко» во множественном числе, вздохнул и вернулся на канал, где беседовали красноволосая женщина, морячок и бритоголовый Кика.

– А сколько невероятных слухов ходило про эти ослиные уши и все, что их окружало! – всплеснула руками женщина. – Как вы считаете, верно ли, что так проявлялась его репрессированная гомосексуальность, в которой он до самого конца не хотел себе признаться, пытаясь спрятать от себя то, что ему, человеку классической культуры, казалось невозможным принять? Даже не

спрятать, неправильное слово… а как бы вынести за скобки личности путем предельного отстранения?

– Знаете, я не психоаналитик, – наморщился Кика. – Не знаю, какие там у личности скобки. И меня безумно раздражает этот педерастический детерминизм, который сводит к репрессированной гомосексуальности все, что чуть выходит за умственный горизонт биржевого маклера. Поэтому давайте не будем слишком углубляться в эту тему. Да, он часто краснел, когда занимался любовью. Но это можно объяснить просто напросто тем, что его голова склонялась слишком низко к полу. И я уверен, что анальный секс никогда не был для него главным. Вряд ли он вообще имел какое то значение, кроме чисто метафорического…

– Да да, – влез морячок. – Я тоже так думаю. В последнее время мне стало казаться, что его настоящей мишенью был голливудский оскал американского национал капитализма. Вспомните, что осел – это эмблема республиканской партии США! Я уверен, проживи Жора дольше, он ударил бы и по демократам.

Красноволосая женщина снова поглядела на морячка с неприязнью. Кика никак не отреагировал на его слова.

– Накладные уши были куда важнее секса per se, – продолжал он. – В первую очередь они требовались ему для того, чтобы довести ситуацию до абсурда, даже не довести, а выстроить как изначально абсурдную. Знаете, он обожал Ги Дебора и часто повторял: «Мы еще заставим общество спектакля аплодировать нам стоя!» Это была гениальная игра сильного и одаренного человека. Но настал день, когда неутолимая жажда жизни сменилась усталостью и разочарованием…

– Вы полагаете, это была гениальная игра? А зачем тогда он надел их, ну… Перед самой кончиной? Когда был совсем один?

– Ну, знаете ли… Как сказал кто то из великих французов: «Сегодня мы играем без зрителей. Сегодня мы играем свою жизнь».

60

Зазвонил лежащий на полу мобильник. Степа посмотрел на него с опаской, словно это был ядовитый зверек, пронзительным визгом предупреждающий об атаке. Мобильный все звонил и звонил. Степа чертыхнулся и поднес трубку к уху.

– Тридцать четвертый, тридцать четвертый! – сказал в трубке неестественный бас. – Я сорок третий! Прием!

– Кто это? – дернулся Степа.

– Это Леон, – сказал Лебедкин своим нормальным голосом. – Че, напрягся? Не надо, зря. Джедаи про всех все знают. У них работа такая.

– И что, – спросил Степа, – много интересного?

– Так… Всякое разное. У кого коровий череп в сейфе. У кого эсэсовский нож в столе. Один жабу лижет, когда дрочит, другой белой крысе молится. Имен называть не буду, сам, наверно, уже догадался. А есть и такие, кто вообще только в деньги верит. Эх, знал бы ты, Степа, что за люди миром правят. Стал бы циником.

– А я и так циник, – сказал Степа.

– Да, – согласился Лебедкин, – я заметил вчера. Кстати, раз уж ты сам об этом заговорил. Ты не в курсе, что это за «семь центов»? Жоре теперь не повредит, скажи.

– Не в курсе, – вздохнул Степа. – Опоздал.

– Понятно. Значит, никогда уже не узнаем… Что там у тебя булькает? Пьешь?

– Пью, – ответил Степа. – Не берет.

– Больше эту дрянь нюхай. Ладно, чего я тебя лечу как ребенка. Сам выводы делай…

Лебедкин замолчал. Слушая тишину в трубке, Степа водил пальцем по стеклянной плоскости журнального столика.

– Я вообще то попрощаться, – сказал Лебедкин после паузы. – Меня на другой участок переводят. С тобой Тарас Козулин работать будет. Мы его Тарантиной зовем. Скучать не будешь, обещаю. Он тебе на днях позвонит. Уши передать и вообще познакомиться.

– Какие еще уши?

– Из Жориного сейфа, – сказал Лебедкин, – я для тебя взял три комплекта. Синие, зеленые и красные. Нарушение служебной инструкции, конечно, ну да ладно.

– Зачем мне?

– На память, – с удивлением ответил Лебедкин. – Ты ж вроде просил, нет? Боялся, что к делу приобщат. Да и вообще… Подумай, сколько они на Сотби через десять лет стоить будут!

– Бог с ним.

– Не хочешь душу бередить? Тоже понимаю. Ну смотри, не надо, так не надо. Сам тогда Козулину объяснишь. Только деликатно, ладно? Он обидчивый.

– А куда уходишь? – спросил Степа.

– На интернет. Ты, кстати, не знаешь, чего бы по «Виндоуз» почитать? Какую нибудь нормальную книжку, чтоб понятно было.

– Лучше начни сразу с Unix, – сказал Степа. – Все таки двадцать первый век на дворе. А что случилось то?

Лебедкин чуть помолчал.

– Помнишь Мусу этого? От которого я тебя спас?

– Еще бы.

– Оказалось, у него кореш есть, который спит и видит, как бы ему за покойничка вписаться. В общем, Степ, проблемы и у джедаев бывают.

– А что за кореш?

– Да какой то Джибраил.

– А кто он?

– В том то и дело, что никто не знает. Умар клянется, что не родственник. В общем, пока не все еще ясно. Но серьезный товарищ… Не поверишь, Степ, что на стрелке было. Так что наши велели мне пока в спокойном месте поработать. Да я и сам, Степ, давно хотел интернетом заняться. Интересно ведь. Человек расти должен, развиваться. А у меня что за жизнь? Туда ба бах, сюда ба бах… Как кочегар. Надоело. В общем, перехожу в пятое главное управление по борьбе с терроризмом в интернете. Оно как раз в бункере под Лубянкой. Где раньше космический центр был.

– А чего, в интернете тоже терроризм бывает? – спросил Степа.

– Еще какой. Ладно, о терроризме потом, давай с делами сначала закончим. Тут вопрос к тебе есть серьезный по Зюзе и Чубайке.

– Ну?

– За тобой должок. Когда деньги переведешь? Уже второй взнос скоро, а у тебя еще первый не прошел. Ты чего, Степ? Я дела сдаю, а тут выясняется, что мой коммерсант не расплатился. Хочешь джедая без выходного пособия оставить?

– Лебедкин, я, наверно, не смогу участвовать, – морщась от каждого своего слова, ответил Степа. – У меня денег нет. Совсем.

– Степа, это не базар, – спокойно сказал Лебедкин. – Надо было заранее думать, во что играешь. Сам видишь, какие колеса закрутились.

– Лебедкин, ну ты понимаешь, что денег нет?

– Степ, ты голову включи и подумай, что будет. Я про твои проблемы все знаю. Но только деньги тебе все равно придется найти.

– А если не найду?

– Будем рассматривать как финансовый терроризм. Ты меморандум о намерениях подписывал? Подписывал. Значит, будем брать на арбитраж.

Степа поднялся на ноги, и пальцы его свободной руки сами сжались в кулак.

– Это как? Убьете? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и насмешливо.

– Убивать не будем, не абреки. Но ты ведь понимаешь, что прихватить тебя можно по целому ряду статей. Хочешь, сам номер выбери, какой тебе больше нравится. Перечислить?

– Ты эти свои номера будешь пингвинам в цирке показывать, – разозлился Степа. – Ты в каком веке живешь, Лебедкин? Что у меня, адвокатов нет? Ну посижу неделю, две максимум. И выйду. Тебе легче станет?

– Не, Степа. Для тебя это не вариант. В камеру тебе попадать не стоит.

– Почему это?

– Ну ты чего, Степ. Такие вопросы задаешь. Пушкина не читал?

– При чем тут Пушкин?

– А при том, что это по паспорту ты Степа. А по распоняткам ты Татьяна. Типа русская душою.

– Чего?

– Забыл? Не ссы, люди напомнят. Мы в privacy44 не лезем – то, что ты осла ебал, твое личное дело. Но вот то, что ты при этом Татьяной согласился побыть, – это, извини, уже нет.

– Это как понимать?

– А так, что будешь теперь Пикачу. Как Сракандаев и обещал.

– Кому?

– Тебе. В клубе «Перекресток». Зачем он, по твоему, «Татьяна» кричал, когда ты его в жопу пялил? Ослик тебя на двойные вилы брал, а ты и не понял, глупый.

– Подожди подожди, – сказал Степа, опускаясь на диван. – Ты про что?

– Про это, Степа, про это. Здесь ты главный покемон, а на зоне будешь пидор гейный. Сразу, как кассету спустим. Такая вот энциклопедия русской жизни. Ты ее за неделю до дыр зачитаешь,

обещаю. А сидеть, кстати, не меньше года будешь. Такие в этой стране понятия, и никто их пока не отменял. Понял, нет?

Волшебные слова, которые кидал в трубку Лебедкин, обдавали страшной ледяной силой. А то, что он знал даже про покемонов, было непереносимо. Степа почувствовал, как где то под ложечкой заработал небольшой, но мощный холодильник.

– Как не понять, – ответил он и принял еще водки. Она так и стекла по полированному боку этого холодильника – в душу не попало ни капли.

– Ну наконец. А я уже волноваться стал за твою голову. Это ж твой хлеб, Степ. Основы высшего менеджмента.

Степа издал непроизвольный физиологический звук – что то между икотой и всхлипыванием.

– Вот именно, – ответил Лебедкин. – Ну так что, будем дополнение к меморандуму подписывать? Или так обойдемся?

– Так обойдемся, – сказал Степа, наливая себе новую стопку.

– Как скажешь. Пошустри по комьюнити, возьми корпоративный кредит, ну ты понял. Крутанись, не мне тебя учить. И не обижайся. Я тебя всем сердцем люблю, ты в курсе. Жизнь тебе лично спас. Только сделать ну ничего нельзя. Как говорил Платон, Аристотель мне друг, но деньги нужнее, хе хе хе хе… Не для себя стараюсь. Ты хоть знаешь, сколько людей в цепочке?

Степа вспомнил, что недавно, совсем в другой вселенной, уже слышал эту фразу.

– Знаю, – сказал он. – Вся страна.

– Это раньше была вся страна. А теперь весь свободный мир, понял, нет? И несвободный тоже.

– Понял, понял. Классная у тебя работа, Лебедкин. Пришел, увидел, победил.

– Это раньше было – пришел, увидел, победил, – хохотнул Лебедкин. – А теперь знаешь как? Выебал, убил, закопал, раскопал и опять выебал. Темп жизни совсем другой. Главное – не отстать. Так что давай, холодный душ и к станку. И чтоб деньги сегодня пошли.

Степа послушно поплелся в душ. Минут пять он стоял под холодной струей, приходя в себя. Когда холод стал нестерпимым, он понял, что сейчас сделает. Это было так просто. И сразу решало все проблемы. Раньше, правда, он считал, что это недостойный выход, и так поступают только слабые люди.

«Что ж, – подумал он, – выходит, и я просто слабый человек».

Удивительно было, до чего легко оказалось принять это решение, представлявшееся когда то таким непостижимо жутким. Ничего жуткого в нем на самом деле не было – просто выход из ситуации, хотя и довольно грустный… Но сначала следовало уладить несколько мелких дел.

Во первых, хотелось окончательно разобраться с числами. Хоть это уже не играло никакой роли, почему то не давала покоя мысль, которая пришла в голову сразу после удара молнии над дзенским садом камней – записать число «34» двоичным кодом.

Вернувшись в комнату, он сел за стол и взял в руку карандаш. Как это делается, он помнил с института. Тридцать четыре получалось из двух в первой степени плюс два в пятой. Коэффициенты при всех остальных степенях, от нулевой до четвертой, были равны нулю. Эти коэффициенты следовало записать справа налево. Результат был таким:

100010

Степа сразу понял, что у него получилась еще одна гексаграмма «Книги Перемен». Это становилось интересным. Он набрал номер Простислава.

– Але, Простислав? Срочно консультация нужна. Что это такое – вторая и шестая линии сплошные, а все остальные – прерывистые?

– Ошибки молодости, – ответил Простислав.

– Что – ошибки молодости?

– Гексаграмма такая – ошибки молодости. Номер четыре. Мын по китайски. Другой перевод – недоразвитость…

– Понятно… – прошептал Степа.

– Понятно? Ну и ладушки. Ты как сам то? Я слышал, у тебя как бы сложности?

– Пустяки, – сказал Степа. – У големов нет проблемов.

– А… Это до тех пор, пока у матросов нет вопросов, хе хе… Ну покедова. Пойду того… валенки чинить.

Степа положил трубку. С числами все было ясно до тошноты. И с людьми тоже. Он подумал, какие у него еще остались дела. Можно было проверить автоответчики на двух московских квартирах – он давно их не слушал. Первый оказался пустым. На втором было одно новое сообщение.

– Привет, – раздался в трубке невозможный голос. – Это Сракандаев. Не знаю, какой это номер, домашний, рабочий, и твой ли вообще. Такой дали. Я уже в Москве, а ты, наверно, еще в Питере. Слушай, если не считать некоторых чепуховостей, все просто волшебно. Закрываю глаза и смеюсь… Ладно, сам не люблю телефонные нежности. Все при встрече. Пожелаю тебе самых разных клевостей. А главное – чтобы ты, Степка, всегда слышал тихий голос истины…

Раздались гудки. Степа нажал звездочку, потом четверку. В трубке пискнуло, и механический голос сказал «no message»45. Сракандаева больше не существовало.

Комментарий к пятой позиции гексаграммы «Мощь Великого» обещал: «раскаяния не будет». А оно было. Несмотря на двойные вилы, Сракандаева было жалко. И не только из за пропавших денег. Точно так же Степе было жалко сбитого машиной ослика, которого он видел ребенком на отдыхе в Сухуми. Но что теперь оставалось делать? Раскольников в похожей ситуации пришел к людям, чтобы сказать: «Это я убил». Степа мог бы, конечно, выйти на ступени перед памятником Достоевскому, надеть грязные сракандаевские уши и зареветь на всю площадь: «И я! И я! И я!»

Но вряд ли Сракандаеву нужна была такая эпитафия. Ему уже ничего не было нужно. А сам Степа собирался сделать нечто такое, что упраздняло все сомнения по поводу прожитой жизни.

Он встал и принялся одеваться. Затем вынул из шкафа поясную сумку и проверил ее содержимое: чешский паспорт, колода кредитных карт, русский загранпаспорт с открытым Шенгеном и десять тысяч долларов наличными. Повесив сумку на живот, он присел на диван. Была, он помнил, такая примета – посидеть перед дорогой. Теперь не оставалось ничего иного, кроме как полагаться на приметы.

– Тихий голос истины, – пробормотал он, оглядывая вещи, которые покидал навсегда. – А что это такое – истина? Кажется, нам так этого и не объяснили…

Через минуту, уже в пальто и шляпе, он открыл входную дверь, сделал шаг наружу и замер на пороге.

На улице был первый день весны. Это становилось ясно сразу. Светило солнце, небо было голубым и чистым, и, главное, в воздухе чувствовалось что то такое, из за чего сердцу, несмотря ни на что, хотелось жить дальше. Сердце понимало – есть из за чего. Степа улыбнулся и вдруг почувствовал себя толстовским дубом, старым деревом из «Войны и мира», которое просыпается к жизни после зимней спячки, чтобы вновь зазеленеть в тысячах школьных сочинений. Все, что он чувствовал в эту секунду, было совсем как в великом романе, за одним исключением – за прошедшие полтора века русский дуб заметно поумнел.

– Зеленеть в офшоре будем, – пробормотал Степа, швырнул мобильный в сугроб и пошел к задней калитке, от которой начиналась тропинка, ведущая к Рублевскому шоссе.

Ощущение весны и того, что чудо где то рядом, не покидало его всю дорогу. Постепенно оно переросло в спокойную уверенность, что у жизни есть что то для него в запасе. Иначе откуда было взяться в душе этому радостному предчувствию невозможного?

Шоссе было уже рядом. Выйдя из под сени деревьев, он зажмурился от солнца и голубизны. В ясной пустоте над дорогой висел диск, похожий на маленькое светило. Он нестерпимо сиял, отражая солнечные лучи.

Степа не помнил никакого диска в этом месте. Это мог быть только недавно повешенный на растяжке дорожный знак. Когда он прошел еще несколько метров, знак перестал отражать солнце. Степа увидел белый круг, окруженный красным кольцом. В круге была цифра «60». Рядом

висел синий прямоугольник со стрелоподобной руной «Тир», похожим на журавля самолетиком и словом «Шереметьево 2».

«Вот оно, новое солнце, – почти спокойно подумал Степа, поднимая руку навстречу потоку машин. – Как все просто… Семнадцать лет ни о чем не волноваться. Вот только когда ноль шесть будет, тогда, наверно, придется круто. Ноль шесть или ноль девять? Опять в школу, весь джихад по новой… Ну да это не скоро. Не здесь. И, наверно, уже не со мной».

Балод Александр. Иронический словарь А Хули[77]

В предисловии к «Священной книге оборотня» В. О. Пелевин, предупреждая возможные нападки рецензентов пишет, что текст книги не заслуживает серьезного литературоведческого или критического анализа и интересен исключительно как симптом глубокого духовного упадка, переживаемого нашим обществом. Как и следовало ожидать, эта фраза подействовала на критиков наподобие некоей «литературной виагры». Виктор Олегович и так не обделен вниманием прессы, однако объем уже появившихся рецензий на его новую книгу бьет все рекорды.

Идея создать статью о творчестве Пелевина в виде своеобразного словаря возникла у меня после знакомства с работами некоторых «пелевиноведов», чьи статьи фактически состояли из цитат, заимствованных у Пелевина и сдобренных некоей толикой комментариев, восторженных или агрессивных, в зависимости от позиции автора. Словарь, по сути — тот же комментарий, только с более формализованной структурой и жесткой привязкой к предмету произведения. Еще одна причина — сам роман. Назвать его энциклопедией человеческой культуры было бы явным преувеличением, однако провести параллели между знакомством с романом и экскурсией по музею человеческой истории и культуры — скорее не по его главным маршрутам, а по боковым улочкам, закоулкам и проездам, проводимой фантастически талантливым, эрудированным и самобытным экскурсоводом — по моему, самое то. А для того, чтобы познакомиться с сокровищами музея и лучше понять экскурсовода, пригодится такая простая вещь, как каталог. Или, например, словарь.

Ирония словаря не направлена на творчество Пелевина, восторженным поклонником которого является автор, а относится скорее к стилю, а точнее жанру, в котором написан словарь.

Обращаем внимание, что предмет данного словаря — роман В. О. Пелевина «Священная книга оборотня». Персонажи, события или артефакты из других произведений Пелевина включены в словарь исключительно в тех случаях, когда они упоминаются в этом романе или, по мнению автора, имеют существенное значение для его лучшего понимания.

[77] Источник: http://zhurnal.lib.ru/b/balod_a/slowarx.shtml

Факт, который многими остался незамеченным — основная идея «Священной книги оборотня» была сформулирована писателем еще в предыдущем романе «Диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда». Точнее, в строках приведенного в романе стихотворения «Человек»:
«Я развел и лису, и медведя и волка».

Употребляемые в тексте сокращения:
«СКО» — роман В.О. Пелевина «Священная книга оборотня».
«ДПП» — роман В.О. Пелевина «Диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда».

СЛОВАРЬ

Аленький цветочек. Популярная сказка для детей русского писателя С. Аксакова. В СКО приводится интерпретация сказки в духе учения доктора Фрейда (см. Фрейд Зигмунд). Истинная тема истории об «аленьком цветочке» — это инцест и потеря невинности. Грозное чудовище, укрощенное героиней сказки — символ первобытных инстинктов, скрытых в самце-мужчине.

А Хули. Главная героиня СКО, лиса-оборотень (см. Оборотни). Примерный возраст — 2000 лет. Последнее столетие проживает преимущественно в России. Последнее место работы — виртуальная проститутка в престижном отеле "Националь". В физический контакт с клиентами не вступает, предпочитает наводить на них морок с помощью органа, представляющего предмет особой гордости для любой лисы — хвоста (см. Хвост). Под воздействием манипуляций, производимых лисой с помощью хвоста («хвостоверчение») клиент погружается в мир сексуальных грез. Профиль работы объясняется не проблемами с трудоустройством или развращенностью А Хули (свойство, которое часто приписывают лисам-оборотням), а чисто биологическими причинами — организм оборотня нуждается в сексуальной энергии, выделяемой людьми в процессе полового акта. Тем не менее, обвинения в вампиризме А Хули категорически отвергает.

Е-Хули, И-Хули — сестры А Хули.

Барон Мюнхгаузен. Герой книги писателя Распе, хвастун и враль. Одна из историй про барона рассказывает о том, как увязнувший в болоте барон сумел спастись из безвыходной ситуации, вытащив себя за косичку из трясины. В «Робинзоне Крузо» Д. Дефо, используя операцию деления целого на части, нарисовал портрет общества, состоящего из одного человека на необитаемом острове (последний герой). Пелевин для создания аллегории устройства мироздания использует обратный прием — умножение единичного образа. Человечество в глазах Пелевина — миллиарды Мюнхгаузенов, крепко держащих друг друга (правда, для большей надежности не за косичку, которая во времена Мюнхгаузена была скорее предметом гардероба, а за другую жизненно важную часть человеческого, а точнее мужского организма), чтобы не провалиться в пустоту.

Беркли, Джордж (1685-1753), англо-ирландский философ. Родился в Килкенни (Ирландия), в 1713 перебрался в Лондон и благодаря философским трудам — «Опыт новой теории зрения», «Трактат о принципах человеческого знания» и «Три разговора между Гиласом и Филонусом», а также

остроумию и личному обаянию получил признание в лондонском свете. В 1734 Беркли вернулся (в сане епископа) в Дублин, где создал свой последний значительный труд — «Сейрис, или Цепь философских размышлений и исследований».
Беркли пытался преодолеть модный в 18 столетии скептицизм и атеизм и создать учение, в котором бы гармонично сочетались новая философия и спиритуализм. Беркли подчеркивал значение чувственного опыта как источника знания и пытался доказать, что все качества , — суть лишь продукт чувственности; он также доказывал, что идея материи как реальности, существующей помимо и сверх первичных и вторичных качеств, не может быть выведена из опыта.
Философская система Беркли получила высокую оценку со стороны А Хули, признавшей в нем интеллект, почти не уступающий лисьему. На основании идей ученого лиса сформулировала «закон Беркли», позволяющий выявить коренные различия во взглядах на жизнь двух видов оборотней — волков и лис.

Битцевский парк. Место, предназначенное для отдыха трудящихся; расположен в Южном административном округе г. Москвы. Именно там был обнаружен портативный компьютер с текстовым файлом «А ХУЛИ» на хард-диске. Появление компьютера сопровождалось странными природными явлениями, по всей вероятности связанными с превращением А-Хули в сверхоборотня (см. Сверхоборотень) и ее вхождением в «Радужный поток» (см. Радужный поток). На месте происшествия органами дознания кроме компьютера были обнаружены и другие предметы, самыми интересными из которых были признаны остатки велосипеда «Canondale Jekyll 1000» и трусики типа «неделька» со словом «Воскресенье».
В Битцевском парке находилось главное логово героини; в самом парке и неподалеку от него разворачиваются основные события романа.
Потенциальный объект для проведения экскурсий по местам, связанным с жизнью и деятельностью знаменитых литературных героев.

Вервольф, он же волк-оборотень — см. Оборотни.

Гуру. В восточной культуре — духовный наставник. Главная миссия гуру — чтение проповеди ученикам. Образ гуру присутствует практически во всех главных произведениях Пелевина, однако трактуется неоднозначно. В романе «Числа» (ДПП) гуру Простислав, по меткому замечанию одного критика, оказывается гибридом стукача и шарлатана. Да и знаменитая баба Бинга (Ванга) изображена не без доли иронии. В СКО в роли гуру выступает мудрый учитель лисы — Желтый Господин (см. Желтый Господин), древнекитайский монах.
Создание образа гуру для писателя — одновременно и простая, и сложная задача. Простой способов решения заключается в том, что имя гуру используется в качестве разделительного символа в тексте проповедуемого учения. Деление на абзацы (с именем гуру в начале или конце каждого из них) лучше осуществлять не на основе глубоких размышлений, а совершенно произвольно. Это, как показывает опыт, только усиливает воздействие идей, содержащихся в учении на еще не окрепшие или слишком впечатлительные умы. Однако «гуру-абзац» — это статика. Для создания живого и полноценного образа требуется элемент динамики. Энергичная мудрость, мудрость, показанная в действии, динамике — одна из сложнейших задач, которые только может поставить перед собой писатель. Образцом такой мудрости был в свое время знаменитый сыщик Ш. Холмс. К сожалению, объективный и беспристрастный разбор экспертами большинства приемов и методов, применяемых Холмсом, показывает их несостоятельность.

Гения создал не гений — Конан Дойл, а дурак — доктор Ватсон. Великий ум Холмса — всего лишь оборотная сторона его фантастической тупости.
Автору гораздо легче и выигрышнее изобразить не истинного, а лже-гуру (знаменитый булгаковский показ фокусов с последующих их разоблачением).
К сожалению, образу гуру-наставника в СКО не хватает именно динамики. Вероятно, прототипа доктора Ватсона в китайской культуре отыскать не удалось. Впрочем, это не имеет ни малейшего значения — большинство поклонников и даже отдельные критики считают истинным гуру, способным дать ответ на большинство злободневных вопросов современности самого автора СКО В. О. Пелевина.

Дзен-буддизм — одно из наиболее популярных В Китае и Японии направлений буддизма. В кристаллизованном виде дзен-буддизм воплощает всю философию Востока. Дзен-буддизм не основан на логическом анализе, не учит, а только указывает путь духовного развития личности. Целью его является приобретение человеком внутреннего духовного опыта, просветление личности. посредством проникновения в истинную природу ума, ставшего своим собственным господином, и достижение свободы от всех неестественных помех и условностей. Согласно дзен-буддизму, наиболее полно психические потенции человека раскрываются тогда, когда его мышление становится неконвенционалъным, не связанным социальными нормами, природно-спонтанным, естественным, «самонеосознанным». Правильность решения определяется не глубокой концентрацией на проблеме и озабоченностью ею, а «наитием». Эти качества легче всего проявляются тогда, когда ими не пытаются сознательно управлять, доверяют их спонтанности в состоянии покоя ума. Достигается эта способность в результате систематической практики «Дхьяна-дзен», что означает «сидеть в медитации», которая, в отличие от других ее видов, не имеет объекта сосредоточения; это — нечто неуловимое, как «облако, кочующее в небе» и выражается в форме «недействия», «незанятости», что является не просто «спокойствием ума», а особого рода «несхватыванием ума». В дзен-буддизме считается, что совершенный человек пользуется своим умом, как зеркалом: он ничего не схватывает и ничего не отвергает, воспринимает, но не хранит. В целом практика дзен-буддизма воспитывает состояние ума, которое называют тишиной «бездонной пропасти», «тишиной грома», в которой исчезают все контрасты и условности. Считается, что человек, следующий путем дзен-буддизма, достигает гармонии личности. через раскрытие истины, заключенной в глубине человеческой природы (Л. А. Лепихова). Идеи дзен-буддизма положены в основу большинства произведений Пелевина.

Дискурс. Понятие, над которым бесконечно иронизирует Пелевин. Для поклонников его творчества, особенно тех, кто никогда не понимал значения этого термина (а таких наверняка большинство) он стал чем-то вроде бранного выражения — как, собственно, и задумывалось автором. Цель Пелевина — проведение лингвистического эксперимента, в рамках которого нормативная и ненормативная лексика меняются местами. Ненормативные слова на страницах его книг приобретают респектабельность (А Хули, пес Пиздец), а вполне уважаемые научные термины (дискурс, симулякр и др.) становятся неким аналогом «матерщины для посвященных». Так что еще немного — и на месте этих слов для особо стыдливой публики придется ставить пробелы или многоточия.
Термин «дискурс» в книгах пелевина используется преимущественно отрицательными персонажами. Так, русоангличанка со странным именем Мюс, возлюбленная главного героя ДПП банкира Степана (оказавшаяся впоследствии вульгарной мошенницей) выступает перед рафинированной ученой публикой с докладом «Новорусский дискурс как симулякр социального конструкта».

В философском словаре дается следующее определение термина:
Дискурс — понятие, выдвинутое структуралистами для анализа социальной обусловленности речевых высказываний. Понятие «дискурс»особенно популярно в постструктурализме и деконструкции. Как правило, применяется в философии, социологии, когнитивных анализах, семиотике. Нередко используется просто как синоним «речи» (спрашивается, зачем?).
Чтобы окончательно запутать читателя упомянем, что известный ученый Патрик Серио выделяет целых 8 значений слова «дискурс», из которых наиболее интересными представляются 1, 3 и 7 значения, а именно:
(1) «речь» в соссюровском смысле, т.е. любое конкретное высказывание;
(3) в рамках теории высказывания или прагматики — воздействие высказывания на получателя и его внесение в «высказывательную» ситуацию (что подразумевает субъекта высказывания, адресата, момент и определённое место высказывания);
(7) обозначение системы ограничений, которые накладываются на неограниченное число высказываний в силу определённой социальной или идеологической позиции. Например: «феминистический дискурс», «административный дискурс» (Добавим - «новорусский дискурс». Но не просто, а как «симулякр социального конструкта»).
Желтый Господин. Он же хозяин Желтой горы. Буддийский монах, наставник лисы-оборотня (см. Гуру). Поведал А Хули учение о «Радужном потоке» и сверхоборотне, который может войти в него. По аналогии с тайным приемом восточных единоборств, называющимся «отсроченная смерть» (нанесение концентрированного удара в одну из жизненно важных точки организма, губительные последствия которого проявляются только спустя дни и даже недели) педагогические методы, практикуемыми Желтым Гуру можно охарактеризовать как «отсроченное прозрение». По очевидным причинам (длительность процесса) единственными, кто мог извлечь практическую пользу из его проповедей, были лисы-оборотни. К моменту появления на страницах СКО (спустя 1200 лет после встречи с монахом) А Хули поняла смысл его учения и решилась проверить его на практике.

Животные. По аналогии с «Жизнью насекомых», главными героями которой были насекомые-оборотни, книгу, в которой действуют животные-оборотни, можно назвать «Жизнью животных». Хотя, подчеркнем, главные действующие лица СКО — не простые животные, а оборотни. Впрочем, для лис-оборотней обычные (не способные к перевоплощениям) представители животного мира во многом гораздо ближе людей, которых они не слишком уважительно именуют «бесхвостыми обезьянами»Любимое развлечение А Хули — охота на кур больше напоминает не настоящую охоту, а игру, потому что не направлена на убийство или нанесение увечий мирным домашним птицам (в отличие от охоты на аристократов, практикуемой ее сестрой И Хули).
Лисы-оборотни считают себя частью окружающей природной среды и ее фауны, поэтому многие их действия нельзя истолковать иначе, как выступления в защиту прав животных. Охота на английских аристократов, практикуемая лисами-оборотнями — не что иное, как ответная месть животных людям за причиняемые страдания. Если английские аристократы, охотящиеся на лис, не считают для себя зазорным преследовать и мучить ни в чем не повинных зверей, то почему не признать за лисами (пусть даже и оборотнями) право на принятие превентивных, а возможно даже имеющих статус «контртеррористических» мер?
Еще одним примером сочувственного отношения к животному миру может служить фрагмент романа, в котором дается обстоятельное истолкование известной фразы, авторство которой приписывают древним римлянам: «после совокупления всякое животное печально». А Хули со знанием дела утверждает, что данное выражение неприменимо к женщинами и лисам-оборотням. И выдвигает свое объяснение непонимания римлянами женско-лисьей психологии.

Главная причина состоит в том, что древние римляне были странными и даже извращенными людьми — они не имели склонности к женщинам, зато питали ее к домашнему скоту и птице, которые не разделяли этого влечения и не умели скрыть своих чувств. Печаль животных не вызывало ни малейшего сочувствия в жестокосердных и огрубелых римлянах.

Зеркало российской жизни. Со времен Чернышевского и Льва Толстого писателям постоянно пытаются приписать совершенно несвойственную им социальную функцию «зеркала» окружающей жизни. Главным «зеркалом» современной российской действительности многие считают Пелевина. Я уже высказывал свою точку зрения по данному вопросу в статье «Пелевин: диалектика и критика», поэтому буду краток. Литература — не отражение действительности, а отражение внутреннего «я» писателя. Пелевин, как и любой талантливый литератор — не сканнер, а творец. Может быть, даже фокусник-иллюзионист. Волшебник изумрудного города, как известно, заставлял всех людей, приходящих в его столицу надевать зеленые очки, чтобы они принимали окружающие предметы за изумруды. Произведения Пелевина — те же изумруды, продукт воображения входящего в его город читателя, внушенный исключительно силой таланта автора. Похожесть мира романов Пелевина на окружающий мир объясняется не тем, что Пелевин реалистически отображает действительность, а скорее тем, что окружающий мир стремительно начинает походить на произведения Пелевина. Степень этой похожести прямо пропорциональна числу людей, прочитавших его книги.

«Инфернальная» теория стоимости. Все желающие могут ознакомиться с этой теорией в повести Пелевина "Македонская критика французской мысли". Одним из ее источников и составных частей послужила трудовая теория стоимости К. Маркса. Основоположник научного коммунизма утверждал, что деньги — это овеществленный человеческий труд. Творческий вклад в развитие идей К. Маркса внес нефтяной магнат Насых (он же Кика) Нафиков (см. Нафиков), который пришел к выводу что деньги — это не труд, а человеческие души.
Другим источником новой теории послужила некогда услышанная Кикой фраза о том, что после смерти советский человек живет в плодах своих дел (вспомним знаменитое стихотворение Маяковского — «Товарищу Нетте, пароходу и человеку»). Творчески соединив эту мысль с идеями К. Маркса, Кика пришел к следующему выводу: жизненная сила погибших строителей социализма после смерти воплощается не в делах — заводах, газетах, пароходах, которые имеют обыкновение гнить, ржаветь, изнашиваться или закрываться. А в предмете, менее изнашиваемом, к тому же возобновляемом и вездесущем — в деньгах. Более того, Кика пришел ко вполне логичному в рамках его теории заключению о том, что особенности земного существования душ, превращающихся после смерти в деньги, отбрасывают тень на жизнь общества, пользующегося этими деньгами. Пресловутый «вывоз капитала»- не что иное, как слив инфернальных энергий бывшего Советского союза прямо в мировые резервуары, где хранится жизненная сила рыночных демократий. Благополучный и сытый Запад ждут непростые времена — собственно говоря, они уже наступили. Когда миллионы советских человеко-дней конвертируются в доллары и евро, это будет равносильно неощутимому и потому особо страшному вторжению армии голодных духов в кровеносную систему международной экономики. Человек, наделенный способностью к духовному зрению, увидит гулаговских зэков в рваных ватниках, которые катят свои тачки по деловым кварталам мировых столиц.
К сожалению, минуя стадию тестирования и апробации, Нафиков сразу же приступил к практическому воплощению своей теории.

Капитан Лебядкин. Персонаж «ДПП»представитель государственного «джедай бизнеса», приходящего на смену старомодным «бандитским крышам». Один из символов становления нового этапа рыночных отношений в стране. В дальнейшем переведен на другую работу. В СКО этот персонаж не только не действует, но даже и не упоминается.
Прообраз персонажа Пелевина — герой романа Ф. М. Достоевского «Бесы» отставной офицер русской армии капитан Лебядкин, поэт и либеральный мыслитель, пострадавший за свои убеждения.

Кетамин (калипсол, кеталар, кетанест). Еще один вид наркотических веществ, ранее не упоминавшийся в книгах Пелевина. Относится к группе «психоделических» наряду с ЛСД, псилоцибином, мескалином, фенциклидином и др. Психоделические средства порождают галлюцинации и связанные с ними переживания нередко мистического, трансцендентного характера. С начала 80-х годов, получил широкое распространение в Северной Америке и Западной Европе, что объяснялось законодательным запретом большинства наркотиков с психоделическим действием при отсутствии среди запрещаемых веществ кетамина. Легальная возможность приобретать препарат, на который распространились ограничения лишь как на «сильнодействующее средство» привели к тому, что он занял существенное место среди веществ использующихся в так называемой «химии отдыха». В России кетамин в качестве «досугового наркотика» активно используется с 90-х годов. Является широко распространенным в России психоделиком (по информации медиков, почти 70 % наркоманов, имеющих химическую зависимость от различных веществ, в прошлом употребляли эпизодически употребляли кетамин). Наиболее распространенный способ употребления — внутримышечные инъекции. Препарат обеспечивает достаточную длительность интоксикационных переживаний до (1,5 часов). При увеличении дозы вводимого препарата, наблюдаются картины онейроидоформного помрачения сознания, для которого характерно видение себя со стороны и сюжетность переживаний.
Употребляется не только людьми, но и волками-оборотнями как средство, ускоряющее превращение в звериный облик (см. Михалыч).

Кот Базилио. Персонаж книги писателя А. Толстого «Золотой ключик», соратник лисы Алисы. Родоначальник династии «оффшорных котов» (См. Оффшорные коты). Первоначальный капитал Базилио нажит путем попрошайничества (Известно стихотворение поэта Пьеро — «Кот Базилио — нищий»), мошенничества и даже воровства (похищение золотых у Буратино). В основу повести А. Толстого были положены подлинные факты. По идеологическим соображениям писатель не мог рассказать всей правды, поэтому многие эпизоды и события книги следует понимать иносказательно. «Золотой ключик» — сказка не для детей, а для взрослых, мудрая и печальная повесть про оборотней. Поверхностному наблюдателю может показаться, что в книге А.Толстого выведен только один оборотень — кукла-человек Буратино. На самом деле оборотнями являются большинство действующих лиц повести — лиса, кот, Карабас-Барабас (т.е. Карабас, превращающийся в Барабаса), девочка с голубыми волосами.
Под именем лисы Алисы в книге А. Толстого выведена А Хули (один из псевдонимов А Хули, вскользь упомянутый Пелевиным — Алиса или Алиса Ли).

Красная шапочка. Знаменитая детская сказка французского писателя Ш. Перро про девочку и волка, с героями которой часто сравнивают себя персонажи СКО. Интерпретируется уже не во фрейдистском, а скорее в мистическом духе. К неоднозначности образа волка читатель внутренне готов после знакомства с произведением Ш. Перро. Признаками того, что отрицательный герой в сказке — не простой волк, а оборотень, являются не только его способность говорить, но и

необычайная прожорливость зверя (съел в один присест и Красную шапочку, и ее бабушку), а также длительность процесса переваривания им пищи (и внучку и бабушку удалось извлечь из волка живыми). Однако трансформация образа Красной шапочки в СКО поражает. Мнимая девочка оказывается не только существом, родственным волку и всему животному миру — оборотнем, но одновременно и собственной бабушкой (а как иначе можно назвать особу, чей возраст исчисляется сотнями и тысячами лет?).

Криптоистория. Литературный жанр, пограничный между историческим романом и фэнтези. Криптоисторики опираются на реальные факты и события, однако приводят им фантастические, мистические или просто диковинные объяснения. Сами криптоисторики считают роман «Чапаев и Пустота» образцовым произведением криптоисторического жанра, и даже всерьез обсуждают маршруты перемещения броневика с героями романа во «Внутреннюю Монголию». В духе криптоистории могут быть истолкованы также сюжеты других произведений Пелевина. Например, причины победы красных над полчищами колчаковцев в гражданской войне в свете фразы волка-оборотня из военных («Проблемы верволка в средней полосе») — «А как, ты думаешь, мы белых через всю Сибирь гнали?» видятся несколько в ином свете, чем их изображает официальная история. В свете новейшего, патриотического истолкования образа пса П....ца (см. пес П....ц) трактовка многих событий военной истории также нуждается в пересмотре. «Генерал Мороз», о котором так много писали военные историки — по-видимому, всего лишь одна из форм появления пса на военно-политической арене в критический для страны период.
Лозунг криптоисториков — «Превратим каждую собаку Баскервилей в пса П...ца!».

Крошечка-Хаврошечка. Русская народная сказка про девочку и корову. Добрая корова помогала девочке, которую обижала злая мачеха. Узнав об этом, мачеха велела зарезать корову. Девочка схоронила кости коровы в саду, на этом месте выросла яблоня с золотыми яблоками. И после своей смерти корова сумела помочь девочке. Повзрослевшая и похорошевшая (несмотря на все происки мачехи) Хаврошечка отдала яблоко с золотой яблони проезжавшему мимо зажиточному доброму молодцу, который был настолько поражен ее красотой и душевными качествами, что женился на ней.
Череп пестрой коровы используется в качестве тотема в процессе нефтекачки (см. Нефтекачка). Именно к нему обращен вой волка-оборотня с призывом дать стране больше нефти.

Кукис-Юкис-Юкси-Пукс! Слоган, висящий перед входом на детскую площадку г. Нефтеперегоньевска и, возможно, выражающий глубокую озабоченность автора СКО социально-экономическими событиями, происходящими в российском обществе. Хотя, скорее всего, не выражающий ничего, кроме самого слогана.

Лебеденко. Полковник танковых войск, в повести «Проблемы верволка в средней полосе» — вожак стаи волков-оборотней. В СКО — объект ностальгических воспоминаний Саши Серого (см. Саша Серый). В его архиве бережно хранится листок бумаги с дарственной надписью «Превращайся! WOLF-FLOW. Полковник Лебеденко».

Маркиз де Сад (1740-1814) . Французский аристократ и писатель, автор нашумевших своей непристойностью романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. Творчество де Сада оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка. От имени маркиза произошло слово «садизм», обозначающее форму полового извращения, при которой человек получает удовольствие от причинения боли и страданий своему партнеру

(партнерам). Подлинное понимание смысла творчества маркиза пришло к А Хули, когда в момент занятий любовью ее неосторожно дернули за хвост (см. Хвост). До этого произведения де Сада казались ей смешными и напыщенными.

Реальный маркиз скорее напоминал не Жиля де Рэ (прообраз синей Бороды) или Джека Потрошителя, а безбашенного и неумелого хулигана. Загнивание и развращенность старой французской монархии, похоже, были сильно преувеличены идеологами-республиканцами, если за обиды, причиненные проститутке титулованный аристократ на долгие годы был посажен в тюрьму. В эпоху революции маркиз был освобожден из заключения, однако и с новой властью не нашел общего языка — хотя казалось бы, между якобинцами, апологетами революционного террора и человеком, воспевающим в своих книгах жестокость и насилие было куда как много общего.

Де Сад — первый и величайший в истории человечества злодей-виртуал. Не сумев осуществить свои сатанинские теории на практике, он преуспел в создании виртуальной реальности зла. По мнению одного из критиков, подлинные причины отторжения обществом творчества де Сада вызваны исключительно нежеланием войти в единственно существующий садовский мир — мир дискурса (см. Дискурс).

Лорд Крикет. Английский аристократ, муж И-Хули. Поклонник сатанизма и учения Алистера Кроули, охотник на лис, сам оказавшийся в роли добычи. Личность, преисполненная амбиций, характерных для представителей вырождающейся аристократии. Не подозревая. кем является на самом деле его супруга И Хули, приезжает вместе с ней в Москву с тайной мыслью, отслужив черную мессу в храме Христа Спасителя, превратиться в «сверхоборотня». В осуществлении цели не преуспел, так как, несмотря на всю свою образованность, не знал поговорки — «тот, кто садится ужинать с дьяволом, должен иметь с собой длинную ложку». Может быть, такой ложкой и не обладал.

Лолита. Героиня одноименного романа В. Набокова, девочка-нимфетка. В романе Пелевина А Хули действует в амплуа «азиатской Лолиты». Героиня СКО является страстной поклонницей творчества этого великого писателя. Личная встреча А Хули с писателем, по ее словам, не состоялась из-за того, что «железный занавес»между Россией, где проживала А Хули и прочим миром был настолько крепок, что пересечь его было не под силу даже оборотням. Несостоявшаяся встреча с любимым писателем расценивается А Хули как еще одно из преступных деяний коммунистического режима.

Героиня Пелевина глубоко возмущена, когда писателя называют крестным отцом педофилии. По ее мнению, тайна романа Набокова заключена не в явной порочности его сюжета (плотская любовь немолодого мужчины к 12-летней девочке), а в умело замаскированной благопристойности. Обыватели, в первую очередь американские, «на ура» восприняли книгу, потому что она давала выход их тайным страстишкам. Однако если буржуазии свойственно скрывать свои пороки, то представителям богемы — скорее то, что принято относить к буржуазным добродетелям. Подлинная мечта писателя — не о зеленой девочке, а о зеленом мальчике, точнее муже, изображенном на американских долларовых купюрах. О достатке, пусть даже скромном, который позволил бы писателю вернуться в мир своего детства и ловить бабочек — если и не России, которую писатель и мы все потеряли к тому времени, то где-нибудь в Швейцарии.

Рискнем предложить читателю еще одну версию событий. А Хули лукавила — а чего еще ждать от лисы, тем более лисы-оборотня. Ей все-таки удалось, несмотря на все мыслимые и немыслимые

преграды, достичь своей цели и встретиться с писателем. И даже стать его музой, представ перед ним в облике .... Вы наверное, уже догадались, о ком идет речь.

Любовь. Любовь, возникшая между двумя оборотнями — в юбке и в погонах, является одной из главных тем книги. Именно любовь А Хули способствовала превращению волка-оборотня в черного пса — как оказалось, далеко не домашнего. Можно провести некоторые параллели между образами А Хули и Анны Карениной — героиней одноименного романа Л. Н. Толстого (писателе, о котором в СКО говорится с подчеркнутым уважением). Несчастная любовь заставила Анну броситься под поезд, а лису-оборотня — войти в «Радужный поток». Общим для героинь является также судьбоносная для них роль технических средств — паровоза в романе Л. Н. Толстого и велосипеда в книге В.О. Пелевина.
Тема несчастной любви послужила основой и предыдущего романа Пелевина (ДПП), где пострадавшей стороной оказался мужчина — банкир Степан, фанат нумерологии. Следует признать, что в описании любовных коллизий автор показывает себя сторонником реализма. Волк принимает решение порвать отношения с лисой, узнав ее подлинный возраст (как мы уже отмечали, где-то около 2 000 лет). У женщин причина разрыва носит духовный характер — или, во всяком случае, является симулякром (см. Симулякр) духовности. Мошенница Мюс в своем прощальном письме объясняет причину разрыва тем, что Степан был с ней не до конца искренен и не рассказал ей о своем счастливом числе.

«Майбах». Марка автомобиля, средство передвижения по Москве оборотней в чине не ниже генерал-лейтенанта.

Минет. Популярный сексуальный прием, любое упоминание о котором вызывало раздражение у А Хули.

Михалыч. Волк-оборотень из простых (беспородных), полковник ФСБ. Для превращения в зверя использовал внутривенные инъекции кетамина (см. Кетамин). Совместно с Сашей Серым (см. Саша Серый) участвовал в «нефтекачке», однако действовал не всегда успешно. Возможно, это объяснялось отсутствием у Михалыча необходимой «представительности» — как замечает А Хули, после превращения Михалыч напоминал скорее не грозное животное, а откормленного и раздобревшего домашнего пса. Впрочем, после совершенствования технологии нефтекачки (добавка в кетамин дозы перевитина) эффективность «воя» Михалыча существенно повысилась. После перехода Саши Серого на повышение занимает его место «главного по нефти» в аппарате.

Нафиков Насых, он же Кика, герой повести «Македонская критика французской мысли» (ДПП). Сын нефтяного магната, выпускник Сорбонны и владелец нескольких совместных предприятий.
Автор новой экономической теории, которую он неосторожно пытался воплотить на практике (см. Инфернальная теория стоимости), а также эпатажного и злого двустишия, в котором в неприглядном свете предстают выдающиеся деятели французской мысли — Барт, Соссюр, а особенно Бодрийяр. Черта, общая между Нафиковым и прочими пелевинскими олигархами — органическая неспособность заниматься своими прямыми служебными обязанностями.

Нефтекачка. Процесс разведки и добычи жизненно важного для экономики страны сырья. Основные участники этого процесса — волки-оборотни (основной и дублер), тотем в виде черепа пестрой коровы и зрители, своим плачем, воем и скорбным сочувствием поддерживающие

главных действующих лиц. Для более детального знакомства с технологией нефтекачки рекомендуется обратиться к первоисточнику (СКО).

Нефтеперегоньевск. Населенный пункт, где осуществляется нефтекачка. У литературных критиков, читавших Достоевского, вызывает туманные ассоциации со Скотопригоньевском — местом действия романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского.

Оборотни. Сверхъестественные существа, герои сказок, легенд и преданий, которые могут превращаться из человека в животное и обратно. Одна из причин интереса писателя к теме оборотней, по-видимому, лежит в области идеологии. Теоретическая константа творчества писателя — идеи об иллюзорности того, что представляется нам реальным миром, взаимопроникновении и взаимозаменяемости различных миров. Превращение живых существ из одного вида в другой — например, из человека в волка является хотя и примитивной, но очень впечатляющей и зрелищной формой взаимопроникновения, взаимозаменяемости, и, в известной степени, иллюзорности.

Лиса-оборотень. Персонаж китайских волшебных сказок. Упоминается и в европейской литературе, в частности, в цикле детективных романов о судье Ди Р. Ван Гулика. В СКО лиса-оборотень А Хули — литературный прием, позволяющий:
Сблизить позицию рассказчика и «всеведущего автора» (хотя повествование ведется «от первого лица», рассказчик, возраст которого исчисляется сотнями лет — это почти всемогущий автор).
Еще раз обратиться к теме восточных учений и восточной мифологии.
Предстать в качестве очевидца событий мировой истории и современника всех выдающихся людей, живших в последние 2 000 лет.
Уже упоминавшийся нами профиль работы лисы позволяет, что немаловажно для читателя, изобразить мировых знаменитостей не только в общественной, но и в частной жизни (Вспомним диалог волка и лисы: «Е....а я твоего Достоевского! — Ну и как? — Ничего особенного!»).
Разумеется, использование этого образа имеет и свои негативные стороны. Во-первых, основу сюжета составляет любовная история, рассчитанная на сопереживание читателей. Однако даже представительницам прекрасного пола (может быть, им-то в особенности) трудно отождествить себя с особой столь почтенного возраста, к тому же природной китаянкой. А во-вторых, древний возраст лисы предполагает особую, нечеловеческую мудрость (если, конечно, мы изначально не имеем дело с совершеннейшей дурой), которую, даже с умом и талантом Пелевина, не так-то просто изобразить. Впрочем, автор и тут находит нестандартный выход. Ум лисы — это действительно особый ум. Это такой же симулякр (см. Симулякр), как х..уловитель под хвостом лисы, только предназначен для улавливания не чужих х...в, а чужих мыслей. Лиса-оборотень сильна, что называется, чужим умом (как мы уже упоминали, не только им одним). Впрочем, лисы-оборотни обладают способностью не только усваивать, но и возвращать людям взятые у них напрокат мысли.
Волк-оборотень. Один из популярнейших героев старинных преданий и новых голливудских фильмов. См. также Саша Серый, Михалыч.

Оборотни в погонах. Метафорическое выражение, в последние годы часто употребляемое в российской прессе для обозначения представителей государственной власти и работников силовых структур, преступивших закон. Подлинный, а не метафорический смысл этого выражения раскрывает В. О. Пелевин в СКО.

Оккам Вильям (ок. 1285-1349) — средневековый философ, наиболее яркий представитель номинализма (направление философии, получившее полное развитие в XIV в.). Хороший знакомый А Хули, позднее поссорившийся с ней из-за философских разногласий. Преподавал в Оксфордском университете, позднее вступил во францисканский орден, где примкнул к наиболее крайнему крылу — спиритуалистам. Был обвинен в ереси папской курией в Авиньоне, бежал к императору Людовику. Оккам выступал с позиций отрицания каких-либо связей между философией и теологией, полагая, что философия не в состоянии доказать какой-либо догмат вероисповедания. Оккам выступал против всех существовавших в то время основных схоластических направлений, что расчищало дорогу развитию новой философии. Создатель знаменитого принципа (названного позднее «бритвой Оккама»): «не следует умножать сущностей без необходимости», направленного против чрезмерного распространения всевозможных обобщений и умозрительных спекуляций, характерных для средневековой схоластики.
В книге Пелевина этот принцип превращается в рекламный слоган презервативов «Occam~s Razor».
Принцип Оккама сохранил свою популярность и в наше время. Так, сторонники академика Фоменко обосновывают постулаты, положенные в основу «новой хронологии» именно идеей Оккама о «неумножении сущностей». Такими лишними сущностями с точки зрения новых русских хронологов являются древние цивилизации — Ассирия, Египет, Греция, Рим. А также многочисленные исторические деятели и события, слишком уж, по мнению хронологов, напоминающие друг друга. С помощью «Бритвы Оккама» новым хронологам удалось укоротить человеческую историю на тысячу лет и многие тысячи событий и личностей.
Принцип Оккама может быть использован и для обоснования американского прагматизма, заключающегося в стремлении приступать к практической стороне дела, не утруждая себя теоретическими тонкостями вопроса. С другой стороны, учитывая тот факт, что для большинства американцев главная жизненная сущность заключена именно в денежных знаках, следует признать, что в практической сфере деятельность американских прагматиков направлена именно на бесконечное и самодовлеющее умножение сущностей.

Олигархи, олигархия. Олигархия — «власть немногих». Родившаяся когда-то в Древней Греции, олигархическая система возродилась в постреформенной России. В своей статье «Имена олигархов на карте родины» Пелевин (хочется в это верить, непредумышленно), фактически подсказал российским олигархам на исторических примерах, как им следует вести себя в случае опалы. Так, греческие олигархи, изгоняемые из Коринфа и Афин, связывали себя взаимной клятвой, которая звучала так: «Обещаю быть врагом народа и вредить ему, сколько хватит моих сил». После этого изгнанные олигархи отправлялись во враждебные общины и подстрекали их напасть на свой родной город.
Произошедшая утечка секретной исторической информации негативно повлияла на отношения российского общества и олигархов Тем не менее, Пелевин является сторонником мирного решения проблемы. Чтобы избегнуть раскола общества он выдвигает лозунг «Народ и олигархия едины». Практическое воплощение этого призыва, по мнению Пелевина, лежит не в социально-экономической, а в демографической плоскости. Из секретных исторических архивов известно, что многие олигархи отличались плодовитостью — их потомство порой исчислялось многими сотнями. Наследование потомками олигархов семейного имущества неизбежно сопровождалось дроблением собственности. Отсюда можно сделать практический вывод — если общество будет искусственно поощрять плодовитость олигархов (в т.ч. на законодательном уровне поощряя внебрачные связи олигархов и разрешая им обзаводиться гаремами), через два или три поколения в стране естественным образом возникнет, наконец, та социальная прослойка, которая

является основой подлинной общественной стабильности в России. К сожалению, ни в научных, ни в политических кругах эта идея писателя пока не получила достаточной поддержки.
Благодаря таланту Пелевина олигархи в его произведениях не предстают безликой серой массой. Ему удается создать полноценные и жизненно достоверные образы различных представителей олигархического племени — магната масс-медиа в «Поколении П», финансового олигарха в романе «Числа» (ДПП), а в повести «Македонская критика французской мысли» — нефтяного олигарха. Главное место в системе олигархического правления Пелевин отводит олигархам от масс-медиа — только им позволено совмещать светскую (экономическую) власть с духовной (напомним, что в «Поколении П» глава империи масс-медиа одновременно становится верховным жрецом, мужем богини Иштар). Впрочем, Пелевина больше интересует не производственная или общественная деятельность олигархов, а их частная жизнь.
В изображении Пелевина олигархам не чуждо ничто человеческое. Финансовые олигархи питают слабость к анальному сексу и гомосексуализму, магнаты масс-медиа склонны к неумеренному употреблению наркотиков, а нефтяные бароны — к попыткам воплотить в жизнь нелепые и причудливые теории. Широкую популярность приобрела фраза о том, что богатые люди отличаются от всех прочих — у них больше денег. Имея более толстый кошелек, олигархи располагают несравнимо большими возможностями для воплощения в жизнь своих потаенных желаний, причуд и сумасбродств, чем обычные люди.

«Оффшорные коты». Лица, контролирующие собственность в России через сеть подставных компаний, зарегистрированных в так называемых оффшорных (безналоговых) зонах.
Информация ля служебного пользования. По сведениям из надежных источников, одна из причин неуловимости лиц, контролирующих собственность через оффшорные компании — их способность в определенные моменты (подписание особо важных контрактов, снятие с банковских счетов крупных денежных сумм и др.) превращаться в мелких животных (котов, хомяков, морских свинок). Именно эти свойства «оффшорных котов» сделали необходимым привлечения для борьбы с ними пса П.....ца.
В литературе в иносказательной форме были выведены образы некоторых оффшорных котов (кот Базилио, кот Матроскин). По-видимому, действительной, а не мнимой причиной разрыва Саши Серого с А Хули явилось его знакомство с книгой писателя А. Толстого «Золотой ключик», из которой он узнал об отношениях А Хули (Алисы) с котом Базилио (см. Кот Базилио), которые она тщательно от него скрывала. В этом, очевидно, и кроется главная причина личной ненависти Саши Серого к оффшорным котам. Кот Матроскин в бизнесе оффшорных котов играл вспомогательную роль. Большинство оффшорных зон расположено на островных государствах, и функции кота Матроскина ограничивались исключительно организацией морской перевозки своих более удачливых собратьев в зону регистрации компаний-призраков и обратно (что нашло отражение в его фамилии, а точнее псевдониме).

Пес «Пиздец». Впервые этот образ появился в романе В. О. Пелевина «Поколение Пи». «Пиздец» по Пелевину — древний языческий бог, принявший вид хромого пса с пятью лапами. Этот пес, согласно преданию, спит где-то в российских снегах, и пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. Однако в любой момент он может проснуться с непредсказуемыми, или точнее, однозначно предсказуемыми последствиями, которые заключены в смысле самого слова. Попросту говоря, «когда он просыпается, он наступает».
В последней книге Пелевина подлинная сущность пса была, наконец, выяснена. Жрецы богини Иштар не понимали, а возможно, намеренно искажали его подлинный образ. Пес «Пиздец» — не абсолютное, а частичное зло. Точнее, и не зло даже. Он опасен только для недоброжелателей

страны, ее недругов. Собака с пятью лапами спит среди снегов, а когда на Русь слетаются супостаты, просыпается и всем им наступает. Знаменитая фраза князя Александра Невского в адрес тевтонских рыцарей в подлиннике звучала так: «А кто с мечом к нам придет, тому П...ц и наступит» (в дальнейшем была отредактирована из соображений секретности).
В финале СКО волк-оборотень Саша Серый превращается в пса «П... ца».

Пестрая корова. Персонаж популярной детской сказки «Крошечка-Хаврошечка». В СКО череп «Пестрой коровы» используется в процессе нефтедобычи в качестве своеобразного фетиша, символа сил природы, к которому обращен вой волка-оборотня. Как сказали бы древние греки, «бог — покровитель нефтяников».

«Поп-метафизика». Определение теоретической базы творчества Пелевина (по аналогии с поп-музыкой и поп-культурой), данное самим автором в предисловии к СКО. Встречается также в работах критиков, которые пишут о его творчестве. Не ясно (да и не очень существенно), перекочевало данное определение от критиков к Пелевину или от Пелевина к рецензентам. Автора неоднократно упрекали в том, что его романы — это не что иное, как философские или мистические трактаты, облеченные в художественную форму, своеобразная «философия для бедных».
Еще раз повторим — талант писателя состоит не в создании новых философских, религиозных, или социально-политических идей и концепций, а в их воплощении, умении использовать в качестве основы для построения сюжетов и образов своих книг. Все помнят фразы-афоризмы из пьес Шекспира: «Слова, слова, слова», «Быть или не быть?», «Вся жизнь театр, и люди в нем актеры». В истории человечества произносилось немало столь же мудрых, образных и звучных фраз, однако больше всего запомнились именно строки Шекспира (а точнее, человека, который скрывался под этим псевдонимом). Разумеется, дело не в самих фразах, а в литературном таланте их создателя. Именно благодаря гению Шекспира простенькое гамлетовское «To be or not to be?» становится символом «homo sapiens». Благодаря особенностям психологии русского человека в России много великолепных писателей и мало хороших философов. Однако если россияне и не преуспели в создании глобальных теорий, то они преуспели, воплощая их в жизнь.
Идеи овладевшая массами, как писал классик, превращаются в материальную силу. Идеи, овладевшие незаурядными единицами, часто превращается в талантливые творения духа. Поэтому, когда русский литераторы обращаются в своих произведениях к философской или религиозной проблематике, они часто создают великолепные произведения (при условии, конечно, что увлеченность идеей не перерастает в одержимость).

Портфельные инвесторы. Любимые клиенты А Хули, среди которых попадаются даже представители такой экзотической национальности, как сикхи. Из откровений А Хули мы узнаем, любимое развлечение портфельных инвесторов — анальный секс (очевидное влияние близости портфельных инвесторов к финансовой олигархии). Другая их примечательная черта — способность неожиданно «соскакивать с хвоста» (см. Хвост) и выпадать из окна гостиницы в самый неподходящий момент.
Пожалуй, автору СКО больше нечего рассказать нам о портфельных инвесторах.

Приватизация. Человеческая история за последние десять тысяч лет есть не что иное, как непрерывной пересмотр результатов приватизации. И Хули (в смысле, персонаж, который произнес эти слова). Остроумно, но с экономической точки зрения не совсем правильно. Приватизация — процесс передачи государственной собственности в частные руки. Любой

приватизации должна предшествовать национализация — а это событие происходит не так уж часто. Дух приватизации в образе Чубайса появляется только там, где когда-то побывал призрак коммунизма в образе Владимира Ильича. Впрочем, экономически более правильное содержание сделало бы фразу менее эффектной с художественной точки зрения.

Пророк в своем отечестве. Один из правильных вариантов ответа — это, конечно же.....ну, вы, наверное, догадались, кого я имею в виду.

Радужный поток. Конечная цель сверхоборотня (см. Сверхоборотень). По словам Желтого господина, учение о Радужном Потоке оставил лисам-оборотням сам Будда. В финале СКО А Хули делает попытку войти в Радужный Поток.
При более традиционном построении сюжета романа в его финале обычно происходит возвращение героя из путешествия, в которое он отправлялся (действие практически любого романа — что это такое, как не путешествие героя?) домой, в привычный для него мир. Разумеется, возвращается он не тем человеком, каким был в начале книги. В киноварианте наиболее выигрышно смотрится даже не изменение социального положения героя («полцарства» или даже целое царство в награду, производство в генералы, дополнительный отпуск или солидная надбавка к жалованию), а счастливый финал в голливудском стиле — красавица, которая дарит свою любовь герою. Хотя герой не обязан принимать ни то, ни другое — Конан-Шварценеггер отказывается и от принцессы, и от царства. Главное — духовное преображение героя.
В романах Пелевина герои не возвращаются, а уходят, исчезают — во Внутренней Монголии (Чапаев и Петька) или Радужном Потоке (А Хули). Что же — по канонам буддистской философии исчезновение и возвращение являются звеньями единой цепи.

Роман-андрогин. В древнегреческой мифологии андрогинами назывались двуполые существа, перволюди, совмещавшие в себе признаки мужчин и женщин. Существует мнение, что на знаменитом полотне Леонардо да Винчи «Мона Лиза» изображена не женщина, а именно андрогин. Применительно к литературным жанрам термин впервые использован М. Павичем, который создал свой "Хазарский словарь" в двух вариантах — мужском и женском. СКО — роман с женским обличьем (не случайно, что он написан от лица существа, причисляющего себя к женскому полу — лисы-оборотня). Мужской вариант романа (Священная книга волка-оборотня) был бы совершенно иным произведением. Не все книги, написанные женщинами-писателями — андрогины в женском варианте, как и не все произведений писателей-мужчин — в мужском.
Отметим, что существует и еще одно определение «литературного андрогина». Книги-андрогины — литературные произведения, совмещающие видовые признаки двух или даже нескольких различных направлений культуры. Это одновременно литературное произведение (повесть, пьеса или роман), кино- или телесценарий и сюжет компьютерной игры. Типичный пример такого романа — "Код да Винчи" Дэна Брауна.

Саша Серый. Один из главных персонажей СКО, волк-оборотень в погонах и возлюбленный А Хули. Генерал-лейтенант, впоследствии генерал-полковник ФСБ. Неоднократный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Сфера деятельности — разведка и добыча нефти (нефтекачка). В конце романа становится сверхоборотнем и принимает образ пятилапого черного пса П....ца. Дал зарок не превращаться в человека, пока у страны остаются внешние и внутренние враги. Сфера деятельности пса-оборотня засекречена, по непроверенным данным одно из главных

направлений — охота на «оффшорных котов» (См. Оффшорные коты). Считает себя Сверхоборотнем.

Сверхоборотень. Оборотень, который входит в Радужный Поток. Некий аналог понятия «сверхчеловека», мессия сверхоборотней. В представлении лис-оборотней должен передать лисам «Священную Книгу Оборотня». Сверхоборотнем пытаются стать несколько героев романа — лорд Крикет (неудачно). А Хули, Саша Серый (против своего желания). Превращение Саши Серого в сверхоборотня сопровождалось присвоением ему звания генерал-полковника.

Симулякр. Термин, часто встречающийся в книгах Пелевина. «Симулякр» (франц. — стереотип, псевдовещь, пустая форма) — одно из ключевых понятий постмодернистической эстетики, занимающее в ней место, принадлежащее в классических эстетических системах художественному образу. Симулякр — образ отсутствующей действительности, правдоподобное подобие, лишенное подлинника, поверхностный, гиперреалистический объект, за которым не стоит какая-либо реальность. Это пустая форма, самореференциальный знак, артефакт, основанный лишь на на собственной реальности (Культурология XX век. Словарь. Спб.,1997. с.423). Генетически восходит к термину «симулакром», обозначавшему у Платона «копию копии».
Как пишет А Хули лисы-оборотни обладают способностью периодически подбирать новый «симулякр души» для демонстрации его окружающим. Еще один атрибут лисы-оборотня — биологический орган-симулякр (аналог половых органов у людей).

Слова-оборотни. Один из наиболее интересных художественных приемов Пелевина. Профессия писателя — превращать явления окружающего мира в слова. Пелевин поступает наоборот — превращает слова в явления материального мира. Пелевин с конструктами языка как ребенок пытающийся понять смысл и назначение новых игрушек — пробует на ощупь и на вкус, взвешивает, измеряет, кидает и роняет, ломает, разбирает и вновь собирает. Ничего удивительного в этом нет, все взрослые в каком-то отношении — большие дети, и писатели — не исключение. Просто их игрушки — это слова. А игрушка Пелевина -языковые штампы и метафоры. В полном соответствии с принципами постмодернизма Пелевин наполняет метафоры новым содержанием. Языковые штампы перестают быть штампами и становятся чем-то иным. Наиболее яркий пример — превращение известного всем ненормативного выражения «пиздец» в образ древнего языческого бога «пса П....ца» (См. Пес Пиздец). В СКО «оборотни в погонах» из метафоры превращаются в главную движущую силу российского общества. Впрочем, об этом я уже подробно писал в статье «Пелевин: диалектика и критика».
Может быть, для описания этого приема писателя можно использовать термины «дискурс» (см. Дискурс) и «симулякр» (см. Симулякр). Впрочем, не уверен в этом, так как никогда не мог понять смысл упомянутых терминов.

Слоган. Еще один фирменный продукт Пелевина. Понятие «слоган» (sluagh-ghairm) восходит к галльскому языку и означает «боевой клич». Первоначальное значение слова точно и весьма образно отражает сущность этой рекламной константы — пленить покупателя и уничтожить конкурентов. Как гласит одно из определений понятия, приводимое в учебниках по маркетингу: «Слоган суммирует преимущества продукта для создания краткого сообщения, которое легко бы запомнилось». Характеристики слогана — его краткость и присутствие названия торговой марки. Качественный слоган не просто рекламирует продукт, он отражает корпоративную идеологию фирмы (а если такая идеология отсутствует, он ее создает).

Характерный творческий прием Пелевина — игра на контрастах. Для построения псевдослоганов продукции известных фирм он использует образы и предметы, не имеющие ни малейшего отношения ни к продукции, ни вообще к коммерции. Одной из невольных жертв слоганов Пелевина стал известный русский писатель, создатель многотомной эпопеи «Архипелаг Гулаг» А. И Солженицын . «Солженицын в Ясной Поляне. Жить не по лжи. LG».

Татарский. Главный герой романа «Поколение Пи». Бывший советский интеллигент-гуманитарий, прошедший в эпоху рыночной экономики светлый путь от простого ларечника до олигарха масс-медиа и главного пиарщика страны. В СКО Татарскому уделена единственная фраза — к нему приходит П...ц. Почему-то никто из критиков не задумался, чем Татарский заслужил этот визит. Однако любой задумавшийся поймет, что визит этот был далеко не случаен. В «Поколении Пи» Татарский, оказавшись во главе империи масс-медиа, занял вакантное место верховного жреца, виртуального мужа богини Иштар и главы тайного братства, задачей которого как раз и было стеречь приход вышеупомянутого пса. Закон жизни суров: если жрец не справляется со своими обязанностями и не в силах устеречь П...ца, то П...ц приходит к самому жрецу. Остается вопрос, почему Татарскому пришел не полный, а частичный П...ц. Объяснения могут быть самые разные, но наиболее вероятное из заключается в том, что Пелевин рассчитывает найти применение полюбившемуся герою в одном из будущих романов.

Трудовая теория стоимости. Учение, разработанное К. Марксом и послужившее фундаментом марксистской политэкономии. Согласно теории К. Маркса, стоимость производимых в обществе товаров и услуг определяется затраченным на их изготовление человеческим трудом. Творческое развитие этой теории с учетом передовых достижений науки осуществил Н. Нафиков (см. Нафиков), который на основе трудовой теории стоимости разработал свою — «душевую», «серную» или «инфернальную» теорию стоимости (См. «Инфернальная теория стоимости»).

Фрейд Зигмунд (1856 — 1939) — австрийский психолог, психиатр и невропатолог, создатель теории психоанализа. В основе учения доктора Фрейд в антагонизме природного начала в человеке, сексуальных и агрессивных импульсов бессознательного, с одной стороны, и, с другой стороны, культуры. Причиной этого антагонизма на внутрипсихическом уровне является культура с ее идеалами, нормами и требованиями. Культура, по Фрейду, основана на отказе от удовлетворения желаний бессознательного и существует за счет сублимированной энергии либидо. Прогресс культуры ведет к уменьшению человеческого счастья и усилению чувства вины из-за растущих ограничений для реализации природных желаний. При объяснении происхождения и сущности инстинктов культуры Фрейд исходил из убежденности в подобии индивидуальных и коллективных психологических закономерностей, а также в одинаковости механизмов формирования нормальных и патологических явлений психики. Это позволило ему, усмотрев сходство между симптомами невроза навязчивости и религиозными обрядами, объявить религию «коллективным неврозом», а наличие в психике человека типических форм реагирования (Эдипов комплекс) и коллективных символов указывает, по мнению Фрейда, на реальные события в истории человечества, памятью о которых выступают данные психические феномены. С этих же позиций Фрейд подступается к проблеме лидерства. Он считает, что связь людей в группе имеет либидную основу. Эта либидная связь есть идентификация индивидов с лидером, который становится внутрипсихическим идеалом для каждого. Усваивая это идеал, человек отказывается от части собственного «Я» (идеал «Я») и объясняется с другими через общий всем групповой идеал — вождя. Учение Фрейда оказало значительное влияние не только

на психологию и психиатрию, но и на всю культуру XX в.

В СССР учение З. Фрейда было запрещено, так как, по мнению советских идеологов, давало неправильное представление о психологии личности (преувеличение роли бессознательного и сексуальности человека). Теперь оно общепризнано, и эпатажем является уже не пропаганда учения, а его критика. Хитрость А Хули состоит в одновременном использовании былой эпатажности фрейдизма и нынешней эпатажности антифрейдизма. В СКО приводится эпатажная фредистская трактовка сказки «Аленький цветочке» и эпатажная оценка деятельности доктора Фрейда. По мнению А Хули (разумеется, лично знакомой с доктором Фрейдом) одной из причин рождения психоанализа было популярное лекарственное средство начала 20 века — кокаин (первоначально не считавшийся наркотиком), являвшийся сильным сексуальным возбудителем. Доктор Фрейд и сам сидел на кокаине и прописывал его пациентам, что не могло не возбуждать в них фантазий определенного рода.
О том, что оценка, данная наследию доктора Фрейда А Хули совпадает с мнением Пелевина, свидетельствует его рассказ «Зигмунд в кафе». Некий Зигмунд, сидя в одном из венских кафе, наблюдает за происходящими там жизненными сценами. И наблюдая наиболее интересные моменты, постоянно повторяет «Ага». Например, джентльмен засовывает руку в кошелек и при этом смотрит на даму. Или дама с удовольствием кушает пирожное. И так далее. И мы тоже начинаем задумываться над символизмом и психопатологией обыденной жизни вместе с Зигмундом. Разумеется, Зигмундом Фрейдом. Какой еще Зигмунд может так внимательно наблюдать за жизнью венской публики? А вот и нет! В конце рассказа выясняется, что мы ошибались. Зигмунд — не Фрейд. Даже и не человек вовсе. Зигмунд — это имя попугая.

Хвост. Уникальный орган лисы-оборотня, с помощью которого она создает наваждение и наводит на людей морок. В спокойном состоянии длина его составляет 10-15 см, в рабочем может увеличиваться до метра. Именно своим хвостом А Хули создает для клиентов виртуальную сексуальную реальность. В романе также часто употребляются термины и выражения, в которых повторяется слово «хвост» — «соскочить с хвоста», «дергать за хвост», «вертеть хвостом», «направить энергию в хвост» и др. Все эти выражения имеют для лисы не метафорический, а самый что ни на есть буквальный смысл.
Отметим, что А Хули с присущей ей наблюдательностью высоко оценивает гипнотические способности обычной женщины и признает, что человеческие самки создают миражи для своих самцов ничем не хуже лис-оборотней.

«Хай сосайети». Полит — и моралькорректная версия перевода Пелевиным английского термина «High Society»(высший свет) на русский язык. Одна из двух ветвей элиты власти современной России. Вторая ветка власти — «аппарат». По мнению А Хули, обе ветви власти связаны круговой порукой Первая дает воровать второй, за то, что вторая дает воровать первой. Остроумно, хотя и не ново.

Чувство юмора. Удивительная вещь — у писателя Пелевина нет ни одного качества, которое не подвергалось бы уничижительной оценке со стороны непримиримых критиков. Казалось бы, последнее в чем можно его упрекнуть — отсутствие чувства юмора. Тем не менее, критик Б. Кузьминский, отметив в своей статье, что СКО — самое литературно качественное произведение Пелевина (с чем можно поспорить), далее высказывает еще более спорное суждение о том, что с юмором у Пелевина «с пеленок плосковато». Чувство юмора — предмет, который трудно оценить

в объективных показателях. Тем не менее, рекомендую всем интересующимся прочесть — не собрание сочинений Пелевина, всего лишь одно высказывание А Хули о взаимоотношениях римлян и животных (см. Животные). Мне кажется, других аргументов по вопросу — есть у Пелевина чувство юмора или нет — не требуется.

Шариков. Московский антропософ (кстати, что это такое?), ученик доктора Штейнера, друг Максимилиана Волошина и Андрея Белого. Герой повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». Подлинная причина изъятия рукописи повести органами НКВД — не идеологические отклонения, как предполагалось ранее, а секретность темы. Пытался превратиться в сверхоборотня. По непроверенной информации, погиб при полете в космос (по-видимому, летал под псевдонимом «Белка» или «Стрелка»).
Упоминание Пелевиным про Шарикова — еще один пример того, что история литературы для писателей-постмодернистов более реальна, чем события обычной человеческой истории. В последние годы множится количество, казалось бы совершенно забытых персонажей российской литературы, возвращающихся к нам на страницах произведений современных авторов. Подлинное лицо японского шпиона, сына Фандорина потомственного ниндзя, скрывающегося под именем штабс-капитана Рыбникова раскрыл нам Б. Акунин на страницах своей «Алмазной колесницы». История жизни капитана Лебедкина, одного из персонажей романа «Бесы» Ф. М. Достоевского (по версии писателя — трагически погиб при пожаре), также нуждается в пересмотре. Не случайно именно его имя использовалось для проведения спецопераций в рамках проекта «джедай бизнес» (ДПП). К сожалению, сделать это без привлечения материалов секретных архивов, доступ в которые независимому исследователю практически закрыт, представляется практически невозможным.

Шитман, он же Говнищер. Ученый-шекспировед, бывший работник Архивного института. Сошел с ума после того, как в процессе изучения английского языка узнал, что по-английски слово «Shit» означает дерьмо. Попал в поле зрения спецслужб, был зомбифицирован и использован для проведения контртеррористических операций (с учетом вышеупомянутого знания языка). Героически погиб при исполнении задания.
Кстати, после написания этого абзаца мне в голову пришла странная мысль. Шекспировед, изучающий английский язык в достаточно зрелом возрасте, а до этого, судя по всему, его совершенно не знавший — подозрительная и нелепая фигура. По-видимому, Шитман с самого начала являлся агентом спецслужб, внедренным под видом шекспироведа в Архивный институт с целью изучения (а возможно, и частичной фальсификации) материалов секретных архивов. Мнимое сумасшествие Шитмана — не более чем умелая операция спецслужб, прикрывающая его отход.
В любом случае судьба Шитмана — пример трепетного отношения к языку (безразлично — русскому или английскому), которое Пелевин сумел передать своим героям.

Экономика. Предмет, который совершенно не интересует В. О. Пелевина. Понимая ее значение в жизни современного общества, автор предпринимает героические усилия, чтобы сделать ее хоть немного более любопытной для себя. Отсюда — попытка воссоздания экономических учений в форме мифов (инфернальная теория денег), а производственных процессов — в виде шаманских обрядов (нефтекачка).

Экранизация. Произведения Пелевина хотя и ставились на большой сцене, экранизированы пока не были. И дело тут не только в известном принципе — чем лучше книга, тем хуже фильм.

Основное препятствие — тексты пелевина практически непереводимы на язык киносценариев. Для экранизации романов Пелевина необходим талантливый режиссер, кино-талант которого входил бы в резонанс с литературным талантом Пелевина.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

Справочный материал

Видные русские советские прозаики, кинодраматурги, братья-соавторы, бесспорные лидеры советской НФ на протяжении трех последних десятилетий и самые известные советские писатели-фантасты за рубежом (на начало 1991-х гг. — 321 книжное издание в 27 странах); классики современной НФ, влияние которых на ее развитие, в частности, в СССР трудно переоценить.

Братья Стругацкие Аркадий Натанович Стругацкий родился 28 августа 1925 года в городе Батуми, затем жил в Ленинграде. Отец — искусствовед, мать — учительница. С началом Великой Отечественной Войны работал на строительстве укреплений, затем — в гранатной мастерской. В конце января 1942 года вместе с отцом эвакуировался из блокадного Ленинграда. Чудом выжил — единственный из всего вагона. В Вологде похоронил отца. Оказался в городе Чкалове (ныне — Оренбург). В городе Ташле Оренбургской области работал на молокоприемном пункте, там же был призван в армию. Учился в Актюбинском артучилище. Весной 1943 года, перед самым выпуском, был откомандирован в Москву, в Военный институт иностранных языков. Окончил его в 1949 году по специальности — переводчик с английского и японского языков. Был на преподавательской работе в Канской школе военных переводчиков, служил дивизионным переводчиком на Дальнем Востоке. Демобилизовался в 1955 году. Работал в «Реферативном журнале», затем редактором в Детгизе и Госполитиздате.

Жизнь Аркадия Натановича Стругацкого оборвалась 12 октября 1991 года.

Борис Натанович Стругацкий родился 15 апреля 1933 г. в Ленинграде, туда же вернулся после эвакуации, окончил механико-математический факультет ЛГУ с дипломом астронома, работал в Пулковской обсерватории; с 1960 года — профессиональный писатель. Член Союза Писателей. Печатался, в основном, в соавторстве с братом (известен также переводами американской НФ — в соавторстве с братом, под псевдонимами С. Победин и С. Витин). Аркадий и Борис СтругацкиеЛауреат Государственной премии РСФСР (1986 — за сценарий фильма «Письма мертвого человека», вместе с В. Рыбаковым и режисером К. Лопушанским). Бессменный руководитель семинара молодых фантастов при Санкт-Петербургской писательской организации. Живет в Санкт-Петербурге.

Широкая известность пришла к братьям Стругацким после публикации первых НФ рассказов, представлявших собой образцы добротной «твердой» (естественнонаучной) НФ и отличавшихся от других произведений тех лет большим вниманием к психологической разработке характеров — «Шесть спичек» (1959), «Испытание СКР» (1960), «Частные предположения» (1960) и других; большинство составило сборник «Шесть спичек» (1960). В ряде ранних рассказов братья Стругацкие впервые успешно опробовали метод построения собственной истории будущего — первой и по сей день остающейся непревзойденной в советской НФ. В отличие от аналогичных масштабных построений Р. Хайнлайна, П. Андерсона, Л. Нивена и других писателей-фантастов, близкое будущее по Стругацким не имело с самого начала четко заданной хронологической схемы (ее позже восстановили читатели-энтузиасты из исследовательской группы «Людены»), зато большее внимание было уделено созданию «сквозных» персонажей, переходящих из книги в книгу и упоминаемых эпизодически. В результате отдельные фрагменты со временем сложились в яркую, многокрасочную, внутренне эволюционирующую и органичную мозаику — один из самых значительных миров НФ в отечественной литературе.

Улитка на склоне

За поворотом, в глубине
Лесного лога
Готово будущее мне
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь,
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настежь.

Б. Пастернак

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Исса, сын крестьянина

Глава первая

Перец

С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел.

Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в

тени под утесом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло — не шевельнулись никакие веки и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек.

Если бросать по камешку каждые полторы минуты; и если правда то, что рассказывала одноногая повариха по прозвищу Казалунья и предполагала мадам Бардо, начальница группы Помощи местному населению; и если неправда то, о чем шептались шофер Тузик с Неизвестным из группы Инженерного проникновения; и если чего-нибудь стоит человеческая интуиция; и если исполняются хоть раз в жизни ожидания — тогда на седьмом камешке кусты позади с треском раздвинутся, и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит директор, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кантом, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мохнатый, и ни на что не глядя, ни на лес под собой, ни на небо над собой, пойдет сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, поднимая ветер размахами широких ладоней, и каждый раз мощная складка на его животе будет накатывать сверху на брюки, а воздух, насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и клокотанием вырываться из разинутого рта. Как подводная лодка, продувающая цистерны. Как сернистый гейзер на Парамушире…

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, это был знакомый человек Клавдий-Октавиан Домарощинер из группы Искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и это знание или подозрение сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда, к обрыву, странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого, наконец, потребуется все, на что он способен.

— А чьи же это туфли? — спросил он и огляделся.

— Это не туфли, — сказал Перец. — Это сандалии.

— Вот как? — Домарощинер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот. — Сандалии? Очень хорошо. Но чьи это сандалии?

Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

— Человек сидит у обрыва, — сказал он, — и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?

— Это мои сандалии, — сказал Перец.

— Ваши? — Домарощинер с сомнением посмотрел на большой блокнот. — Значит, вы сидите босиком? Почему? — Он решительно спрятал большой блокнот и извлек из заднего кармана малый блокнот.

— Босиком — потому что иначе нельзя, — объяснил Перец. — Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. — Он нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени. — Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком…

— Минуточку!

Домарощинер проворно поймал его за руку и отобрал камешек.

— Действительно, простой камень, — сказал он. — Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя — даже если она действительно там, а там ли она, это уже особый вопрос, которым мы займемся попозже, — а раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я имею в виду попадание… Но мы все это сейчас выясним.

Он сунул малый блокнот в нагрудный карман и снова достал большой блокнот. Потом он поддернул брюки и присел на корточки.

— Итак, вы вчера тоже были здесь, — сказал он. — Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники Управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справить нужду?

Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это не вызов и не злоба, этому не надо придавать значения. Это просто невежество. Невежеству не надо придавать значения, никто не придает значения невежеству. Невежество испражняется на лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется, и, как правило, этому не придают значения. Невежество никогда не придавало значения невежеству…

— Вам, наверное, нравится здесь сидеть, — вкрадчиво продолжал Домарощинер. — Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!

— А вы? — спросил Перец.

Домарощинер шмыгнул носом.

— А вы не забывайтесь, — сказал он обиженно и раскрыл блокнот. — Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение к лесу — мне не ясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни… Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства, и вам в конечном счете ничто не грозит. А, Перец? Вы же взрослый человек и должны понимать, что двусмысленность неприемлема. — Он закрыл блокнот и подумал. — Вот, например, камень. Пока он лежит неподвижно, он прост, он не внушает сомнений. Но вот его берет чья-то рука и бросает. Чувствуете?

— Нет, — сказал Перец. — То есть, конечно, да.

— Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука? — спрашиваем мы. Куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? И зачем?.. И как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У

меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть на краю обрыва. Особенно если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.

— У меня нет пропуска.

— Так. Нет. А почему?

— Не знаю… Не дают вот.

— Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают.

Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос Домарощинера шмыгал, глаза часто мигали.

— Наверное, потому что я посторонний, — предположил Перец. — Наверное, поэтому.

— И ведь не только я вами интересуюсь, — продолжал Домарощинер доверительно. — Если бы только я! Вами интересуются люди и поважнее… Слушайте, Перец, может быть, вы отсядете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас.

Перец поднялся.

— Это потому, что вы нервный, — сказал он. — Не будем мы продолжать. В столовую пора, опоздаем.

Домарощинер поглядел на часы.

— Действительно, пора, — сказал он. — Что-то я увлекся сегодня. Всегда вы меня, Перец, как-то… не знаю даже, что сказать.

Перец запрыгал на одной ноге, натягивая сандалию.

— Ох, да отойдите же вы от края! — страдальчески закричал Домарощинер, махая на Переца блокнотом. — Вы меня убьете когда-нибудь своими выходками!

— Уже все, — сказал Перец, притопывая. — Больше не буду. Пошли?

— Пошли, — сказал Домарощинер. — Но я констатирую, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. Разве так можно? — Он посмотрел на большой блокнот и, пожав плечами, сунул его под мышку. — Странно даже. Решительно никаких впечатлений, я уже не говорю об информации. Сплошная неясность.

— Так а что отвечать? — сказал Перец. — Просто мне нужно было здесь поговорить с директором.

Домарощинер замер, словно застряв в кустах.

— Ах, вот как это у вас делается, — сказал он изменившимся голосом.

— Что делается? Ничего не делается…

— Нет-нет, — шепотом сказал Домарощинер, озираясь. — Молчите и молчите. Не надо никаких слов. Я уже понял. Вы были правы.

— Что вы поняли? В чем это я прав?

— Нет-нет, я ничего не понял. Не понял — и все. Вы можете быть совершенно спокойны. Не понял и не понял. И вообще я здесь не был и вас не видел. Я, если хотите знать, все утро просидел на этой вот скамеечке. Очень многие могут подтвердить. Я поговорю, я попрошу.

Они миновали скамеечку, поднялись по выщербленным ступеням, свернули в аллею, посыпанную мелким красным песком, и через ворота вступили на территорию Управления.

— Полная ясность может существовать лишь на определенном уровне, — говорил Домарощинер. — И каждый должен знать, на что он может претендовать. Я претендовал на ясность на своем уровне, это мое право, и я исчерпал его. А там, где кончаются права, там начинаются обязанности, и смею вас уверить, что свои обязанности я знаю так же хорошо, как и права…

Они прошли мимо десятиквартирных коттеджей с тюлевыми занавесками на окнах, миновали гараж, крытый гофрированным железом, пересекли спортивную площадку, где на столбах одиноко висела дырявая волейбольная сетка, и пошли мимо складов, возле которых такелажники стаскивали с грузовика громадный красный контейнер, мимо гостиницы, в дверях которой стоял с портфелем болезненно-бледный комендант с неподвижными выпученными глазами, вдоль длинного забора, за которым скрежетали двигатели, они шли все быстрее, потому что времени оставалось мало, и Домарощинер уже ничего не говорил, а только задыхался и сипел, потом они побежали, и все-таки, когда они ворвались в столовую, было уже поздно и все места были заняты, только за дежурным столиком в дальнем углу оставались еще два места, а третье занимал шофер Тузик, и шофер Тузик, заметив, что они в нерешительности топчутся у порога, помахал им вилкой, приглашая к себе.

Все пили кефир, и Перец тоже взял себе кефира, так что у них на столе на заскорузлой скатерти выстроилось шесть бутылок, а когда Перец задвигал под столом ногами, устраиваясь поудобнее на стуле без сиденья, звякнуло стекло, и в проход между столиками выкатилась бутылка из-под бренди. Шофер Тузик ловко подхватил ее и засунул обратно под стол, и там снова звякнуло стекло.

— Вы поосторожнее ногами, — сказал он.

— Я нечаянно, — сказал Перец. — Я же не знал.

— А я знал? — возразил шофер Тузик. — Их там четыре штуки, доказывай потом, что ты не домкрат.

— Ну, я, например, вообще не пью, — с достоинством сказал Домарощинер. — Так что ко мне это вообще не относится.

— Знаем мы, как вы не пьете, — сказал Тузик. — Так-то и мы не пьем.

— Но у меня печень больна! — забеспокоился Домарощинер. — Как вы можете? Вот справка, прошу…

Он выхватил откуда-то и сунул под нос Перецу мятый тетрадный листок с треугольной печатью. Это, действительно, была справка, написанная неразборчивым медицинским почерком. Перец

различил только одно слово: «антабус», а когда, заинтересовавшись, попытался взять бумагу, Домарощинер не дал и подсунул ее под нос шоферу Тузику.

— Это самая последняя, — сказал он. — А есть еще за прошлый год и за позапрошлый, только они у меня в сейфе.

Шофер Тузик справку смотреть не стал. Он выцедил полный стакан кефиру, помотал головой, понюхал сустав указательного пальца и, прослезившись, сказал севшим голосом:

— Вот, например, что еще бывает в лесу? Деревья. — Он вытер рукавом глаза. — Но на месте они не стоят: прыгают. Понял?

— Ну-ну? — жадно спросил Перец. — Как так — прыгают?

— А вот так. Стоит оно неподвижно. Дерево, одним словом. Потом начинает корчиться, корячиться и ка-ак даст! Шум, треск, не разбери-поймешь. Метров на десять. Кабину мне помяло. И опять стоит.

— Почему? — спросил Перец.

Он очень ясно представлял это себе. Но оно, конечно же, не корчилось и не корячилось, оно начинало дрожать, когда к нему приближались, и старалось уйти. Может быть, ему было противно. Может быть, страшно.

— Почему оно прыгает? — спросил он.

— Потому что называется: прыгающее дерево, — объяснил Тузик, наливая себе кефиру.

— Вчера прибыла партия новых электропил, — сообщил Домарощинер, облизывая губы. — Феноменальная производительность. Я бы даже сказал, что это не пилы, это пилящие комбайны. Наши пилящие комбайны искоренения.

А вокруг все пили кефир — из граненых стаканов, из жестяных кружек, из кофейных чашечек, из свернутых бумажных кульков, прямо из бутылок. Ноги у всех были засунуты под стулья. И все, наверное, могли предъявить справки о болезнях печени, желудка, двенадцатиперстной кишки. И за этот год, и за прошлые годы.

— А потом меня вызывает менеджер, — продолжал Тузик в повышенном тоне, — и спрашивает, почему у меня кабина помята. Опять, говорит, стервец, налево ездил? Вы вот, пан Перец, играете с ним в шахматы, замолвили бы за меня словечко, он вас уважает, часто о вас говорит… Перец, говорит, это, говорит, фигура! Я, говорит, для Переца машины не дам, и не просите. Нельзя такого человека отпускать. Поймите же, говорит, дураки, нам же без него тошно будет! Замолвите, а?

— Х-хорошо, — упавшим голосом произнес Перец. — Я попробую. Только как же это он… машину?

— С менеджером могу поговорить я, — сказал Домарощинер. — Мы вместе служили, я был капитаном, а он был у меня лейтенантом. Он до сих пор приветствует меня прикладыванием руки к головному убору.

— Потом еще есть русалки, — сказал Тузик, держа на весу стакан с кефиром. — В больших чистых озерах. Они там лежат, понял? Голые.

— Это вам, Туз, померещилось от вашего кефира, — сказал Домарощинер.

— А я их сам и не видел, — возразил Тузик, поднося стакан к губам. — Но воду из этих озер пить нельзя.

— Вы их не видели, потому что их нет, — сказал Домарощинер. — Русалки — это мистика.

— Сам ты мистика, — сказал Тузик, вытирая глаза рукавом.

— Подождите, — сказал Перец. — Подождите. Тузик, вы говорите, они лежат… А еще что? Не может быть, чтобы они просто лежали, и все.

…Возможно, они живут под водой и выплывают на поверхность, как мы выходим на балкон из прокуренных комнат в лунную ночь и, закрыв глаза, подставляем лицо прохладе, и тогда они могут просто лежать. Просто лежать — и все. Отдыхать. И лениво переговариваться и улыбаться друг другу…

— Ты со мной не спорь, — сказал Тузик, рассматривая Домарощинера в упор. — Ты в лесу-то когда-нибудь был? Не был ведь в лесу-то ни разу, а туда же.

— И глупо, — сказал Домарощинер. — Что мне в вашем лесу делать? У меня пропуск есть в ваш лес. А вот у вас, Туз, никакого пропуска нет. Покажите-ка мне, пожалуйста, ваш пропуск, Туз.

— Я сам этих русалок не видел, — повторил Тузик, обращаясь к Перецу. — Но я в них вполне верю. Потому что ребята рассказывают. И даже Кандид вот рассказывал. А уж Кандид про лес знал все. Он в этот лес как к своей бабе ходил, все там знал на ощупь. Он и погиб там, в этом своем лесу.

— Если бы погиб, — сказал Домарощинер значительно.

— Чего там «если бы». Улетел человек на вертолете, и три года о нем ни слуху ни духу. В газете траурное извещение было, поминки были, чего тебе еще? Разбился Кандид, конечно.

— Мы слишком мало знаем, — сказал Домарощинер, — чтобы утверждать что-либо со всей категоричностью.

Тузик плюнул и пошел к стойке взять еще бутылку кефиру. Тогда Домарощинер нагнулся к уху Переца и, бегая глазами, прошептал:

— Имейте в виду, что относительно Кандида было закрытое распоряжение… Я считаю себя вправе информировать вас, потому что вы человек посторонний…

— Какое распоряжение?

— Считать его живым, — гулко прошептал Домарощинер и отодвинулся. — Хороший, свежий кефир сегодня, — произнес он громко.

В столовой поднялся шум. Те, кто уже позавтракал, вставали, двигая стульями, и шли к выходу, громко разговаривая, закуривали и бросали спички на пол. Домарощинер злобно озирался и всем, кто проходил мимо, говорил: «Как-то странно, господа, вы же видите, мы беседуем…»

Когда Тузик вернулся с бутылкой, Перец сказал ему:

— Неужели менеджер серьезно говорил, что не даст мне машину? Наверное, он просто шутил?

— Почему шутил? Он же вас, пан Перец, очень любит, ему без вас тошно, и отпускать вас отсюда ему просто-таки невыгодно… Ну, отпустит он вас, ну и что ему от этого? Какие уж тут шутки.

Перец закусил губу.

— Как же мне уехать? Мне здесь делать больше нечего. И виза кончается. И потом я просто хочу уже уехать.

— Вообще, — сказал Тузик, — если вы получите три строгача, вас отсюда выпрут в два счета. Специальный автобус дадут, шофера среди ночи подымут, вещичек собрать не успеете… Ребята у нас как делают? Первый строгач — и понижают его в должности. Второй строгач — посылают в лес, грехи замаливать. А третий строгач — с приветом, до свидания. Если, скажем, я захочу уволиться, выпью я полбанки и дам вот этому по морде. — Он показал на Домарощинера. — Сразу мне снимают наградные и переводят меня на дерьмовоз. Тогда я что? — выпиваю еще полбанки и даю ему по морде второй раз, понял? Тут меня снимают с дерьмовоза и отсылают на биостанцию ловить всяких там микробов. Но я на биостанцию не еду, выпиваю еще полбанки и даю ему по морде в третий раз. Вот тогда уже все. Уволен за хулиганские действия и выслан в двадцать четыре часа.

Домарощинер погрозил Тузику пальцем.

— Дезинформируете, дезинформируете, Туз. Во-первых, между действиями должно пройти не менее месяца, иначе все поступки будут рассматриваться как один и нарушителя просто поместят в карцер, не давая никакого хода его делу внутри самого Управления. Во-вторых, после второго проступка виновного отправляют в лес немедленно в сопровождении охранника, так что он будет лишен возможности произвести третий проступок по своему усмотрению. Вы его не слушайте, Перец, он в этих проблемах не разбирается.

Тузик отхлебнул кефиру, сморщился и крякнул.

— Это верно, — признался он. — Тут я, пожалуй, действительно… того. Вы уж извините, пан Перец.

— Да нет, что уж… — грустно сказал Перец. — Все равно я не могу ни с того ни с сего бить человека по физиономии.

— Так ведь не обязательно же по этой… по морде, — сказал Тузик. — Можно, например, и по этой… по заднице. Или просто костюм на нем порвать.

— Нет, я так не умею, — сказал Перец.

— Тогда плохо, — сказал Тузик. — Тогда вам беда, пан Перец. Тогда мы вот как сделаем. Вы завтра утром часикам к семи приходите в гараж, садитесь там в мою машину и ждите. Я вас отвезу.

— Правда? — обрадовался Перец.

— Ну. Мне завтра на Материк ехать, железный лом везти. Вместе и поедем.

В углу кто-то вдруг страшно закричал: «Ты что наделал? Ты суп мой пролил!»

— Человек должен быть простым и ясным, — сказал Домарощинер. — Не понимаю я, Перец, почему это вы хотите отсюда уехать. Никто не хочет уехать, а вы хотите.

— У меня всегда так, — сказал Перец. — Я всегда делаю наоборот. И потом, почему это обязательно человек должен быть простым и ясным?

— Человек должен быть непьющим, — заявил Тузик, нюхая сустав указательного пальца. — Скажешь, нет?

— Я не пью, — сказал Домарощинер. — И я не пью по очень простой и каждому ясной причине: у меня больна печень. Так что вы меня, Туз, не поймаете.

— Что меня в лесу удивляет, — сказал Тузик, — так это болота. Они горячие, понял? Я этого не выношу. Никак я привыкнуть не могу. Врюхаешься где-нибудь, снесет с гати, и вот сижу я в кабине и вылезти не могу. Как щи горячие. Пар идет, и пахнет щами, я даже хлебать пробовал, только невкусно, соли там не хватает, что ли… Не-ет, лес — это не для человека. И чего они там не видели? И гонят, и гонят технику, как в прорубь, она там тонет, а они еще выписывают, она тонет, а они еще…

…Зеленое пахучее изобилие. Изобилие красок, изобилие запахов. Изобилие жизни. И все чужое. Чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно и чужое, и знакомое одновременно. С тем, что оно — производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать питекантроп о нас, о своих потомках, — с горечью и со страхом…

— Когда выйдет приказ, — провозгласил Домарощинер, — мы двинем туда не ваши паршивые бульдозеры и вездеходы, а кое-что настоящее, и за два месяца превратим там все в… э-э… в бетонированную площадку, сухую и ровную.

— Ты превратишь, — сказал Тузик. — Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности.

Густо загудел гудок. В окнах задребезжали стекла, и сейчас же над дверью грянул мощный звонок, замигали огни на стенах, а над стойкой вспыхнула крупная надпись: «ВСТАВАЙ, ВЫХОДИ!». Домарощинер торопливо поднялся, перевел стрелку на ручных часах и, не говоря ни слова, бросился бежать.

— Ну, я пойду, — сказал Перец. — Работать пора.

— Пора, — согласился Тузик. — Самое время.

Он скинул стеганку, аккуратно скатал ее и, сдвинув стулья, улегся, подложив стеганку под голову.

— Значит, завтра в семь? — сказал Перец.

— Что? — спросил Тузик сонным голосом.

— Завтра в семь я приду.

— Куда это? — спросил Тузик, ворочаясь на стульях. — Разъезжаются, подлые, — пробормотал он. — Сколько раз я им говорил: поставьте диван…

— В гараж, — сказал Перец. — К вашей машине.

— А-а… Ну, приходите, приходите, там посмотрим. Трудное это дело.

Он поджал ноги, сунул ладони под мышки и засопел. Руки у него были волосатые, а под волосами виднелась татуировка. Там было написано: «что нас губит» и «только вперед». Перец пошел к выходу.

Он переправился по дощечке через огромную лужу на заднем дворе, обогнул курган пустых консервных банок, пролез сквозь щель в дощатом заборе и через служебный подъезд вошел в здание Управления. В коридорах было холодно и темно, пахло табачным перегаром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было, из-за обитых дерматином дверей ничего не было слышно. По узкой лестничке без перил, придерживаясь за обшарпанную стену, Перец поднялся на второй этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись: «ПОМОЙ РУКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ». На двери красовалась большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некоторое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет. То есть, конечно, это был не его кабинет, это был кабинет Кима, начальника группы Научной охраны, но в этом кабинете Перецу поставили стол, и теперь этот стол стоял сбоку от двери у кафельной стены, и полстола занимал, как всегда, зачехленный «мерседес», а у большого отмытого окна стоял стол Кима, а сам Ким уже работал: сидел, согнувшись, и смотрел на логарифмическую линейку.

— Я хотел руки помыть… — сказал Перец растерянно.

— Помой, помой, — сказал Ким, мотнув головой. — Вот тебе умывальник. Теперь будет очень удобно. Теперь все к нам ходить будут.

Перец подошел к умывальнику и стал мыть руки. Он мыл руки холодной и горячей водой, двумя сортами мыла и специальной жиропоглощающей пастой, тер их мочалкой и несколькими щеточками различной степени жесткости. Затем он включил электросушилку и некоторое время держал розовые влажные руки в завывающем потоке теплого воздуха.

— В четыре утра всем объявили, что нас переведут на второй этаж, — сказал Ким. — А ты где был? У Алевтины?

— Нет, я был на обрыве, — сказал Перец, усаживаясь за свой стол.

Дверь распахнулась, в помещение стремительно вошел Проконсул, помахал приветственно портфелем и скрылся за кулисой. Было слышно, как скрипнула дверца кабинки и щелкнула задвижка. Перец снял чехол с «мерседеса», посидел неподвижно, а потом подошел к окну и распахнул его.

Лес отсюда не был виден, но лес был. Он был всегда, хотя увидеть его можно было только с обрыва. В любом другом месте Управления его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремовые здания механических мастерских и четырехэтажный гараж для личных автомобилей сотрудников. Его заслоняли скотные дворы подсобного хозяйства и белье, развешанное возле прачечной, где постоянно была сломана сушильная центрифуга. Его заслонял парк с клумбами и павильонами, с чертовым колесом и гипсовыми купальщицами, покрытыми карандашными надписями. Его заслоняли коттеджи с верандами, увитыми плющом, и с крестами телевизионных антенн. А отсюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпичной ограды, пока еще недостроенной, но уже очень высокой, которая возводилась вокруг плоского одноэтажного здания группы Инженерного проникновения. Лес можно было видеть только с обрыва, но и испражняться на лес можно было только с обрыва.

Но даже человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже просто потому, что существовало Управление. Вот я очень давно думал о лесе, спорил о лесе, видел его в моих снах, но я даже не подозревал, что он существует в действительности. И я уверился в его существовании не тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел надпись на вывеске возле подъезда: «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЛЕСА». Я стоял перед этой вывеской с чемоданом в руке, пыльный и высохший после длинной дороги, читал и перечитывал ее и чувствовал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует, а значит, все, что я думал о нем до сих пор, — игра слабого воображения, бледная немощная ложь. Лес есть, и это огромное мрачноватое здание занимается его судьбой…

— Ким, — сказал Перец, — неужели я так и не попаду в лес? Ведь я завтра уезжаю.

— А ты действительно хочешь туда попасть? — спросил Ким рассеянно.

…Зеленые горячие болота, нервные пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под луной от своей таинственной деятельности в глубинах, осторожные непонятные аборигены, пустые деревни…

— Не знаю, — сказал Перец.

— Тебе туда нельзя, Перчик, — сказал Ким. — Туда можно только людям, которые никогда о лесе не думали. Которым на лес всегда было наплевать. А ты слишком близко принимаешь его к сердцу. Лес для тебя опасен, потому что он тебя обманет.

— Наверное, — сказал Перец. — Но ведь я приехал сюда только для того, чтобы повидать его.

— Зачем тебе горькие истины? — сказал Ким. — Что ты с ними будешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или, чего доброго, возьмешься переделывать то, что есть, в то, что должно быть?

— А зачем же я сюда приезжал?

— Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как это важно: убедиться. Другие приезжают для другого. Чтобы обнаружить в лесу кубометры дров. Или найти бактерию жизни. Или написать диссертацию. Или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай: когда-нибудь пригодится, да и не у всех есть. А предел поползновений — извлечь из леса роскошный парк, как скульптор извлекает статую из глыбы мрамора. Чтобы потом этот парк стричь. Из года в год. Не давать ему снова стать лесом.

— Уехать бы мне отсюда, — сказал Перец. — Нечего мне здесь делать. Кому-то надо уехать, либо мне, либо вам всем.

— Давай умножать, — сказал Ким, и Перец сел за свой стол, нашел наспех сделанную розетку и включил «мерседес».

— Семьсот девяносто три пятьсот двадцать два на двести шестьдесят шесть ноль одиннадцать…

«Мерседес» застучал и задергался. Перец подождал, пока он успокоится, и, запинаясь, прочитал ответ.

— Так. Погаси, — сказал Ким. — Теперь шестьсот девяносто восемь триста двенадцать подели мне на десять пятнадцать…

Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал на клавиши умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все шло как обычно.

— Двенадцать на десять, — сказал Ким. — Умножить.

— Один ноль ноль семь, — механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал: — Слушай, он ведь врет. Должно быть сто двадцать.

— Знаю, знаю, — нетерпеливо сказал Ким. — Один ноль ноль семь, — повторил он. — А теперь извлеки мне корень из десять ноль семь…

— Сейчас, — сказал Перец.

Снова щелкнула задвижка за кулисой, и появился Проконсул, розовый, свежий и удовлетворенный. Он стал мыть руки, напевая при этом приятным голосом «Аве Мария». Потом он провозгласил:

— Какое же это все-таки чудо — лес, господа мои! И как преступно мало мы говорим и пишем о нем! А между тем он достоин того, чтобы о нем писать. Он облагораживает, он будит высшие чувства. Он способствует прогрессу. Он сам подобен символу прогресса. А мы никак не можем пресечь распространение неквалифицированных слухов, побасенок, анекдотов. Пропаганда леса, по существу, не ведется. О лесе говорят и думают черт те что…

— Семьсот восемьдесят пять умножь на четыреста тридцать два, — сказал Ким.

Проконсул повысил голос. Голос у него был сильный и хорошо поставленный — «мерседеса» не стало слышно.

— «Живем как в лесу»… «Лесные люди»… «Из-за деревьев не видно леса»… «Кто в лес, кто по дрова»… Вот с чем мы должны бороться! Вот что мы должны искоренять. Скажем, вы, мосье Перец, почему вы не боретесь? Ведь вы могли бы сделать в клубе обстоятельный целенаправленный доклад о лесе, а вы его не делаете. Я давно за вами наблюдаю и все жду, и все напрасно. В чем дело?

— Так я ведь там никогда не был, — сказал Перец.

— Неважно. Я там тоже никогда не был, но я прочел лекцию, и, судя по отзывам, это была очень полезная лекция. Дело ведь не в том, был ты в лесу или не был, дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху мистики и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние, напяленное обывателями и утилитаристами…

— Дважды восемь поделить на сорок девять минус семью семь, — сказал Ким.

«Мерседес» заработал. Проконсул снова повысил голос:

— Я делал это как философ по образованию, а вы могли бы сделать это как лингвист по образованию. Я вам дам тезисы, а вы их разовьете в свете последних достижений лингвистики… Или какая там у вас тема диссертации?

— У меня «Особенности стиля и ритмики женской прозы позднего Хэйана» на материале «Макура-но соси», — сказал Перец. — Боюсь, что…

— Пре-вос-ход-но! Это именно то, что нужно. И подчеркните, что не болота и трясины, а великолепные грязелечебницы; не прыгающие деревья, а продукт высокоразвитой науки; не туземцы, не дикари, а древняя цивилизация людей гордых, свободных, с высокими помыслами, скромных и могущественных. И никаких русалок! Никакого лилового тумана, никаких туманных намеков — простите меня за неудачный каламбур… Это будет превосходно, мингер Перец, это будет замечательно. И это очень хорошо, что вы знаете лес, можете поделиться своими личными впечатлениями. Моя лекция была тоже хороша, однако, боюсь, несколько умозрительна. В качестве основного материала я использовал протоколы заседаний. А вы, как исследователь леса…

— Я не исследователь леса, — сказал Перец убедительно. — Меня в лес не пускают. Я не знаю леса.

Проконсул, рассеянно кивая, что-то быстро писал на манжете.

— Да, — говорил он. — Да, да. К сожалению, это горькая правда. К сожалению, это у нас еще встречается — формализм, бюрократизм, эвристический подход к личности… Об этом вы, между прочим, тоже можете сказать. Можете, можете, об этом все говорят. А я попытаюсь согласовать ваше выступление с дирекцией. Я чертовски рад, Перец, что вы наконец примете участие в нашей работе. Я уже давно и очень внимательно приглядываюсь к вам… Вот так, я вас записал на следующую неделю.

Перец выключил «мерседес».

— Меня не будет на следующей неделе. У меня кончилась виза, и я уезжаю. Завтра.

— Ну, это мы как-нибудь уладим. Я пойду к директору, он сам член клуба, он поймет. Считайте, что вы остались еще на неделю.

— Не надо, — сказал Перец. — Не надо!

— Надо! — сказал Проконсул, глядя ему в глаза. — Вы отлично знаете, Перец: надо! До свидания.

Он поднес два пальца к виску и удалился, помахивая портфелем.

— Паутина какая-то, — сказал Перец. — Что я им — муха? Менеджер не хочет, чтобы я уезжал, Алевтина не хочет, а теперь и этот тоже…

— Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал, — сказал Ким.

— Но я не могу здесь больше!

— Семьсот восемьдесят семь умножить на четыреста тридцать два…

Все равно я уеду, думал Перец, нажимая на клавиши. Все равно я уеду. Вы не хотите себе, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, не буду я с вами спать и пить чай с вареньем, не хочу я больше петь вам песни, считать вам на «мерседесе», разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых вы все равно не поймете. И думать за вас я не

буду, думайте сами, а я уеду. Уеду. Уеду. Все равно вы никогда не поймете, что думать — это не развлечение, а обязанность…

Снаружи, за недостроенной стеной, тяжко бухала баба, стучали пневматические молотки, с грохотом сыпался кирпич, а на стене рядком сидели четверо рабочих, голых по пояс, в фуражках, и курили. Потом под самым окном заревел и затрещал мотоцикл.

— Из леса кто-то, — сказал Ким. — Скорее умножь мне шестнадцать на шестнадцать.

Дверь рванули, и в комнату вбежал человек. Он был в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов, а правая нога была опутана оранжевой плетью лианы бесконечной длины, волочащейся по полу. Лиана еще подергивалась, и Перецу показалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно — через коридоры Управления, вниз по лестнице, по двору мимо стены, мимо столовой и мастерских и снова вниз, по пыльной улице, через парк, мимо статуй и павильонов, к въезду на серпантин, к воротам, но не в ворота, а мимо, к обрыву, вниз…

Он был в мотоциклетных очках, лицо его было густо припорошено пылью, и Перец не сразу понял, что это Стоян Стоянов с биостанции. В руке у него был большой бумажный кулек. Он сделал несколько шагов по кафельному полу, по мозаике, изображающей женщину под душем, и остановился перед Кимом, спрятав бумажный кулек за спину и делая странные движения головой, словно у него чесалась шея.

— Ким, — сказал он. — Это я.

Ким не отвечал. Слышно было, как его перо рвет и царапает бумагу.

— Кимушка, — заискивающе сказал Стоян. — Я ведь тебя умоляю.

— Пошел вон, — сказал Ким. — Маньяк.

— В последний разочек, — сказал Стоян. — В самый распоследний.

Он снова сделал движение головой, и Перец увидел на его тощей подбритой шее, в самой ямочке под затылком, коротенький розоватый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожащий, как от жадности.

— Ты только передай и скажи, что от Стояна, и больше ничего. Если в кино станет звать, соври, что срочная вечерняя работа. Если будет чаем угощать, скажи, мол, только что пил. И от вина тоже откажись, если предложит. А? Кимушка! В самый наираспоследнейший!

— Что ты ежишься? — спросил Ким со злостью. — А ну-ка повернись!

— Опять подхватил? — спросил Стоян, поворачиваясь. — Ну, это неважно. Ты только передай, а остальное все неважно.

Ким, перегнувшись через стол, что-то делал с его шеей, что-то уминал и массировал, растопырив локти, брезгливо скалясь и бормоча ругательства. Стоян терпеливо переминался с ноги на ногу, наклонив голову и выгнув шею.

— Здравствуй, Перчик, — говорил он. — Давно я тебя не видел. Как ты тут? А я вот опять привез, что ты будешь делать… В самый разнаипоследнейший. — Он развернул бумагу и показал Перецу букетик ядовито-зеленых лесных цветов. — А пахнут-то как! Пахнут!

— Да не дергайся ты, — прикрикнул Ким. — Стой смирно! Маньяк, шляпа!

— Маньяк, — с восторгом соглашался Стоян. — Шляпа. Но! В самый разнаипоследнейший!

Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и осыпались на пол, на кирпичное лицо женщины под душем.

— Все, — сказал Ким. — Убирайся.

Он отошел от Стояна и бросил в мусорное ведро что-то полуживое, корчащееся, окровавленное.

— Убираюсь, — сказал Стоян. — Немедленно убираюсь. А то ведь, знаешь, у нас Рита опять начудила, я теперь с биостанции и уезжать как-то боюсь. Перчик, ты бы приехал к нам, поговорил бы с ними, что ли…

— Еще чего! — сказал Ким. — Нечего там Перецу делать.

— Как это нечего? — вскричал Стоян. — Квентин просто на глазах тает! Ты послушай только: неделю назад Рита сбежала — ну ладно, ну что поделаешь… А этой ночью вернулась вся мокрая, белая, ледяная. Охранник было к ней сунулся с голыми руками — что-то она с ним такое сделала, до сих пор валяется без памяти. И весь опытный участок зарос травой.

— Ну? — сказал Ким.

— А Квентин все утро плакал…

— Это я все знаю, — перебил его Ким. — Я не понимаю, при чем здесь Перец.

— Ну как при чем? Ну что ты говоришь? Кто же еще, если не Перец? Не я ведь, верно? И не ты… Не Домарощинера же звать, Клавдия-Октавиана!

— Хватит! — сказал Ким, хлопнув ладонью по столу. — Убирайся работать, и чтобы я тебя здесь в рабочее время не видел. Не зли меня.

— Всё, — торопливо сказал Стоян. — Всё. Ухожу. А ты передашь?

Он положил букет на стол и выбежал вон, крикнув в дверях: «И клоака снова заработала…»

Ким взял веник и смел всё осыпавшееся в угол.

— Безумный дурак, — сказал он. — И Рита эта… Теперь все пересчитывай заново. Провалиться им с этой любовью…

Под окном снова раздражающе затрещал мотоцикл, и снова все стихло, только бухала баба за стеной.

— Перец, — сказал Ким, — а зачем ты был утром на обрыве?

— Я надеялся повидать директора. Мне сказали, что он иногда делает над обрывом зарядку. Я хотел попросить его, чтобы он отправил меня, но он не пришел. Ты знаешь, Ким, по-моему, здесь все врут. Иногда мне кажется, что даже ты врешь.

— Директор, — задумчиво сказал Ким. — А ведь это, пожалуй, мысль. Ты молодец. Это смело…

— Все равно я завтра уеду, — сказал Перец. — Тузик меня отвезет, он обещал. Завтра меня здесь не будет, так и знай.

— Не ожидал, не ожидал, — продолжал Ким, не слушая. — Очень смело… Может, действительно послать тебя туда — разобраться?

Глава вторая

Кандид

Кандид проснулся и сразу подумал: послезавтра я ухожу. И сейчас же в другом углу Нава зашевелилась на своей постели и спросила:

— Ты уже больше не спишь?

— Нет, — ответил он.

— Давай тогда поговорим, — предложила она. — А то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?

— Давай.

— Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь.

— Не знаю, — сказал он. — Скоро.

— Вот ты всегда говоришь: скоро. То скоро, то послезавтра, ты, может быть, думаешь, что это одно и то же, хотя нет, теперь ты говорить уже научился, а вначале все время путался, дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми и то путал, а то еще начинал бормотать, ни слова не понятно, никто тебя понять не мог…

Он открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц назад было наоборот: справа налево — с грибницей, слева направо — порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое. Вдоль колонн редкой цепью стояли крупные черные сигнальщики, стояли неподвижно, медленно поводя длинными антеннами, и ждали приказов. Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу, и никуда мы не ушли, и еще когда-то, задолго до этого, я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец уходим, и мы, конечно, не ушли, но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже тоже думал когда-то, но теперь-то уж я обязательно уйду. Хорошо бы уйти прямо сейчас, ни с кем не разговаривая, никого не упрашивая, но так можно сделать только с ясной головой, не сейчас. А хорошо бы решить раз и навсегда: как только я проснусь с

ясной головой, я тотчас же встаю, выхожу на улицу и иду в лес, и никому не даю заговорить со мной, это очень важно — никому не дать заговорить с собой, заговорить себя, занудить голову, особенно вот эти места над глазами, до звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. А ведь Нава уже говорит…

— …И получилось так, — говорила Нава, — что мертвяки вели нас ночью, а ночью они плохо видят, совсем слепые, это тебе всякий скажет, вот хотя бы Горбун, хотя он не здешний, он из той деревни, что была по соседству с нашей, не с этой нашей, где мы сейчас с тобой, а с той, где я была без тебя, где я с мамой жила, так что ты Горбуна знать не можешь, в его деревне все заросло грибами, грибница напала, а это не всякому нравится, Горбун вот сразу ушел из деревни. Одержание произошло, говорит, и в деревне теперь делать людям нечего… Во-от. А луны тогда не было, и они, наверное, дорогу потеряли, сбились все в кучу, а мы в середине, и жарко стало, не продохнуть…

Кандид посмотрел на нее. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, только непрестанно двигались ее губы да время от времени поблескивали в полутьме глаза. Когда вошел старец, она не перестала говорить, а старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно, с хлюпаньем, понюхал и принялся есть. Тогда Кандид поднялся и обтер ладонями с тела ночной пот. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корытца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала. Старец обсосал губы и сказал:

— Невкусно. К кому ни придешь теперь, везде невкусно. И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил, а ходил я много — и на дрессировку, и просто выкупаться, я в те времена часто купался, там было озеро, а теперь стало болото, и ходить стало опасно, но кто-то все равно ходит, потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник. Я любого могу спросить: откуда там в тростнике тропинки? И никто не может этого знать, да и не следует. А что это у вас в корытце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел, моченую ягоду я люблю, а если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-нибудь, то не надо, я их есть не буду, сами ешьте огрызки. — Он подождал, переводя взгляд с Кандида на Наву и обратно. Не дождавшись ответа, он продолжал: — А там, где тростник пророс, там уже не сеять. Раньше сеяли, потому что нужно было для Одержания, и всё везли на Глиняную поляну, теперь тоже возят, но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя, но они не понимают, что это такое: нельзя. Староста меня прямо при всех спросил: почему нельзя? Тут вот Кулак стоит, как ты, даже ближе, тут вот, скажем, Слухач, а тут вот, где Нава твоя, тут стоят братья Плешаки, все трое стоят и слушают, и он меня при них при всех спрашивает. Я ему говорю, как же ты можешь, мы же, говорю, с тобой не вдвоем тут… Отец у него был умнейший человек, а может, он и не отец ему вовсе, некоторые говорили, что не отец, и вправду не похож. Почему, говорит, при всех нельзя спросить, почему нельзя?

Нава поднялась, передала горшок Кандиду и занялась уборкой. Кандид стал есть. Старец замолчал, некоторое время смотрел на него, жуя губами, а потом заметил:

— Не добродила у вас еда, есть такое нельзя.

— Почему нельзя? — спросил Кандид, чтобы позлить.

Старец хихикнул.

— Эх ты, Молчун, — сказал он. — Ты бы уж лучше, Молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно я уже у тебя спрашиваю: очень это болезненно, когда голову отрезают?

— А тебе-то какое дело? — крикнула Нава. — Что ты все допытываешься?

— Кричит, — сообщил старец. — Покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с Молчуном живешь, а не рожаешь. Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое «нельзя», ты знаешь? Это значит: не желательно, не одобряется, а поскольку не одобряется, значит, поступать так нельзя. Что можно — это еще неизвестно, а уж что нельзя — то нельзя. Это всем надлежит понимать, а тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, Молчуна вот в мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что «нельзя» — это самое что ни на есть нежелательное…

Нава, злая и надутая, схватила со стола корытце и ушла в чулан. Старец поглядел ей вслед, посопел и продолжал:

— Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно понимать так, что «нельзя» — вредно…

Кандид доел, поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока они проснутся. Улицу уже расчистили, зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки, обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками. Когда Кандид проходил, старший невнятно крикнул набитым ртом: «Молчак-мертвяк!» Но его не поддержали — были заняты. Больше на улице, оранжевой и красной от высокой травы, в которой тонули дома, сумрачной, покрытой неяркими зелеными пятнами от солнца, пробивающегося сквозь лесную кровлю, никого не было. С поля доносился нестройный хор скучных голосов: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей…» В лесу откликалось эхо. А может быть, и не эхо. Может быть, мертвяки.

Колченог, конечно, сидел дома и массировал ногу.

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Вот тут я мягкой травки постелил для гостей. Уходишь, говорят?

Опять, подумал Кандид, опять все сначала.

— Что, опять разболелась? — спросил он, усаживаясь.

— Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так, и хорошо. А когда уходишь?

— Да как мы с тобой договаривались. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.

Колченог осторожно вытянул ногу и сказал вразумляюще:

— Как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю — мимо двух камней, сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь, одна пустая, грибная, грибами она поросла, так там не живут, а в другой живут

чудаки, через них два раза синяя трава проходила, с тех пор там болеют, и заговаривать с ними не надо, все равно они ничего не понимают, память у них как бы отшибло. А за той чудаковой деревней по правую руку и будет тебе твоя Глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо, сам спокойненько дойдешь и не вспотеешь.

— До Глиняной поляны мы дойдем, — согласился Кандид. — А вот дальше как?

— Куда дальше?

— Через болото, где раньше озера были. Помнишь, ты про каменную дорогу рассказывал?

— Это про какую же дорогу? До Глиняной поляны? Так я же тебе втолковываю: поверни налево, иди до поля, до двух камней…

Кандид дослушал и сказал:

— До Глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но мне нужно дальше, ты же знаешь. Мне необходимо добраться до Города, а ты обещал показать дорогу.

Колченог сочувственно покачал головой.

— До Го-о-орода!.. Вот ты куда нацелился. Помню, помню… Так до Города, Молчун, не дойти. До Глиняной поляны, например, это просто: мимо двух камней, через грибную деревню, через чудакову деревню, а там по правую руку и будет тебе Глиняная поляна. Или, скажем, до Тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо Хлебной лужи, а там все время за солнцем. Куда солнце, туда и ты. Трое суток идти, но если тебе уж так надо — пойдем. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. Тростники я знаю хорошо. Ты бы так и говорил, что до Тростников. Тогда и до послезавтра ждать нечего, завтра утром и выйдем, и еды нам с собой брать не надо, раз там Хлебная лужа… Ты, Молчун, говоришь больно коротко: только начнешь к тебе прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в Тростники пойдем. Завтра утром и пойдем…

Кандид дослушал и сказал:

— Понимаешь, Колченог, мне не надо в Тростники. В Тростники мне не надо. Не надо мне в Тростники. — Колченог внимательно слушал и кивал. — А надо мне в Город, — продолжал Кандид. — Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в Город. Позавчера говорил, что мне надо в Город. Неделю назад говорил, что мне надо в Город. Ты сказал, что знаешь до Города дорогу. Это ты вчера сказал. И позавчера говорил, что знаешь до Города дорогу. Не до Тростников, а до Города. Мне не надо в Тростники. («Только бы не сбиться, — подумал он. — Может быть, я все время сбиваюсь. Не Тростники, а Город. Город, а не Тростники».) Город, а не Тростники, — повторил он вслух. — Понимаешь? Расскажи мне про дорогу до Города. Не до Тростников, а до Города. А еще лучше — пойдем до Города вместе. Не до Тростников пойдем вместе, а до Города пойдем вместе.

Он замолчал. Колченог снова принялся оглаживать больное колено.

— Наверное, тебе, Молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная, а потом шел я однажды ночью через Муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло, и теперь кривая. Почему кривая, никто не знает, а ходит она плохо. Но до Муравейников дойду. И сам дойду, и тебя

доведу. Только не пойму, зачем ты сказал, чтобы я пищу на дорогу готовил, до Муравейников тут рукой подать. — Он посмотрел на Кандида, смутился и открыл рот. — Так тебе же не в Муравейники, — сказал он. — Тебе же куда? Тебе же в Тростники. А я не могу в Тростники, не дойду. Видишь, нога кривая. Слушай, Молчун, а почему ты так не хочешь в Муравейники? Давай пойдем в Муравейники, а? Я ведь с тех пор так и не бывал там ни разу, может, их, Муравейников, уже и нету. Дупло то поищем, а?

«Сейчас он меня собьет», — подумал Кандид. Он наклонился набок и подкатил к себе горшок.

— Хороший какой у тебя горшок, — сказал он. — И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки… Так ты меня проводишь до Города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу до Города не знает. Пойдем до Города, Колченог. Как ты думаешь, дойдем мы до Города?

— А как же! Дойдем! До Города? Конечно, дойдем. А горшки такие ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают, у них там близко Глиняная поляна, я тебе говорил: от меня сразу налево и мимо двух камней до грибной деревни. А в грибной деревне никто уже не живет, туда и ходить не стоит. Что мы, грибов не видели, что ли? Когда у меня нога здоровая была, я никогда в эту грибную деревню не ходил, знаю только, что от нее за двумя оврагами чудаки живут. Да. Можно было бы завтра и выйти… Да… Слушай, Молчун, а давай мы туда не пойдем. Не люблю я эти грибы. Понимаешь, у нас в лесу грибы — это одно, их кушать можно, они вкусные. А в той деревне грибы зеленые какие-то, и запах от них дурной. Зачем тебе туда? Еще грибницу сюда занесешь. Пойдем мы лучше в Город. Гораздо приятнее. Только тогда завтра не выйти. Тогда еду надо запасать, расспросить нужно про дорогу. Или ты дорогу знаешь? Если знаешь, тогда я не буду расспрашивать, а то я что-то и не соображу, у кого бы это спросить. Может, у старосты спросить, как ты думаешь?

— А разве сам ты про дорогу в Город ничего не знаешь? — спросил Кандид. — Ты про эту дорогу много знаешь. Ты даже один раз почти до Города дошел, но испугался мертвяков, испугался, что один не отобьешься…

— Мертвяков я не боялся и не боюсь, — возразил Колченог. — Я тебе скажу, чего я боюсь: как мы с тобой идти будем, вот чего я боюсь. Ты так все время и будешь молчать? Я ведь так не умею. И еще чего я боюсь… Ты не обижайся на меня, Молчун, ты мне скажи, а громко не хочешь говорить, так шепотом скажи или даже просто кивни, а если уж и кивать не хочешь, так вот правый глаз у тебя в тени, ты его и прикрой, никто не увидит, один я увижу. А вопрос у меня такой: может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? Я ведь мертвяков не терплю, у меня от них дрожь начинается, и ничего я с собой не могу поделать…

— Нет, Колченог, я не мертвяк, — сказал Кандид. — Я их и сам не выношу. А если ты боишься, что я буду молчать, так мы ведь не вдвоем пойдем, я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет, и Хвост, и еще два мужика из Выселок.

— С Кулаком я не пойду, — решительно сказал Колченог. — Кулак у меня дочь мою за себя взял и не уберег. Угнали у него мою дочку. Мне не то жалко, что он взял, а то мне жалко, что не уберег. Шел он с нею в Выселки, подстерегли его воры и дочку отобрали, а он и отдал. Сколько я потом с твоей Навой ее искал, так и не нашел. Нет, Молчун, с ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в Город пошли, от воров бы покою не было. То ли дело в Тростники, туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и выйдем.

— Послезавтра, — сказал Кандид. — Ты пойдешь, я пойду, Кулак, Хвост и еще двое из Выселок. Так до самого Города и дойдем.

— Вшестером дойдем, — уверенно сказал Колченог. — Один бы я не дошел, конечно, а вшестером дойдем. Вшестером мы до самых Чертовых гор дойдем, только я дороги туда не знаю. А может, пошли до Чертовых гор? Далеко очень, но вшестером дойдем. Или тебе не надо на Чертовы горы? Слушай, Молчун, давай до Города доберемся, а там уже и посмотрим. Пищи нужно только набрать побольше.

— Хорошо, — сказал Кандид, поднимаясь. — Значит, послезавтра выходим в Город. Завтра я схожу на Выселки, потом тебя повидаю и еще разок напомню.

— Заходи, — сказал Колченог. — Я бы и сам к тебе зашел, да вот нога у меня болит — сил нет. А ты заходи. Поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят, очень с тобой трудно говорить, Молчун, но я не такой. Я уже привык, и мне даже нравится. И сам приходи, и Наву приводи, хорошая она у тебя, Нава твоя, детей вот только у нее нет, ну да еще будут, молодая она у тебя…

На улице Кандид снова обтер с себя ладонями пот. Продолжение следовало. Рядом кто-то хихикнул и закашлялся. Кандид обернулся. Из травы поднялся старец, погрозил узловатым пальцем и сказал:

— В Город, значит, нацелились. Интересно затеяли, да только до Города никто еще живым не доходил, да и нельзя. Хоть у тебя голова и переставленная, а это ты понимать должен…

Кандид свернул направо и пошел по улице. Старец, путаясь в траве, некоторое время плелся следом, бормотал: «Если нельзя, то всегда в каком-нибудь смысле нельзя, в том или ином… Например, нельзя без старосты или без собрания, а со старостой или с собранием, наоборот, можно, но опять же не в любом смысле…» Кандид шел быстро, насколько позволяла томная влажная жара, и старец понемногу отстал.

На деревенской площади Кандид увидел Слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Слухача надо было миновать, и Кандид попытался его миновать, но Слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с Кандидом носом к носу.

— А-а, Молчун! — радостно закричал он, поспешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. — Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь… Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве? Тебя, Молчуна, может, разве искать…

Кандид снова попытался его обойти и снова каким-то образом оказался с ним носом к носу.

— Да и не ходи ты за ней на поле, Молчун, — продолжал Слухач убедительно. — Зачем тебе за нею ходить, когда я вот сейчас траву побью и всех сюда созову: землемер тут приходил и сказал, что ему староста велел, чтобы он мне сказал траву на площади побить, потому что скоро будет тут собрание, на площади. А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Нава твоя заявится,

если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно. А можно ведь…

Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг голой головы Слухача, губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо, чужим, каким-то дикторским голосом, с чужими интонациями, чужим, не деревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы:

— На дальних окраинах Южных земель в битву вступают все новые… Отодвигается все дальше и дальше на юг… Победного передвижения… Большое разрыхление почвы в Северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных и редких… Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового продвижения на… Во всех поселениях… Большие победы… Труд и усилия… Новые отряды подруг… Завтра и навсегда спокойствие и слияние…

Подоспевший старец стоял у Кандида за плечом и разъяснял азартно: «Во всех поселениях, слышал?.. Значит, и в нашем тоже… Большие победы! Все время ведь твержу: нельзя… Спокойствие и слияние — понимать же надо… И у нас, значит, тоже, раз во всех… И новые отряды подруг, понял?..»

Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал Слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.

— О чем это я? — сказал он. — Передача, что ли, была? Как там Одержание? Исполняется или как?.. А на поле ты, Молчун, не ходи. Ты ведь, полагаю, за своей Навой идешь, а Нава твоя…

Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. Старца вскоре не стало слышно — то ли он сцепился со Слухачом, то ли запыхался и зашел в какой-нибудь дом отдышаться и заодно перекусить.

Дом Кулака стоял на самой окраине. Замурзанная старуха, не то мать, не то тетка, сказала, недоброжелательно фыркая, что Кулака дома нету, Кулак в поле, а если бы был в доме, то искать его в поле было бы нечего, а раз он в поле, то чего ему, Молчуну, тут зря стоять.

В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды, зерно уже тронулось. Над горшками с закваской толклись и крутились тучи рабочих мух, и в самой гуще этого черного, отсвечивающего металлом круговорота стоял староста и, наклонив голову и прищурив один глаз, внимательно изучал каплю сыворотки на ногте большого пальца. Ноготь был специальный, плоский, тщательно отполированный, до блеска отмытый нужными составами. Мимо ног старосты по борозде в десяти шагах друг от друга гуськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало, и теперь было ясно, что это не эхо.

Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав Кулака, он тронул его за плечо, и Кулак сразу же, ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.

— Чего, шерсть на носу, касаешься? — прохрипел он, глядя Кандиду в ноги. — Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки — за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор висит, а когда снимут, так больше уже касаться не будет, шерсть на носу…

— Идешь? — коротко спросил Кандид.

— Еще бы не иду, шерсть на носу, когда закваски на семерых наготовил, в дом не войти, воняет, жить невозможно, как же теперь не идти — старуха выносить не желает, а сам я на это уже смотреть не могу. Да только куда идем? Колченог вчера говорил, что в Тростники, а я в Тростники не пойду, шерсть на носу, там и людей-то в Тростниках нет, не то что девок, там если человек захочет кого за ногу взять и на дерево закинуть, шерсть на носу, так некого, а мне без девки жить больше невозможно, меня староста со свету сживет… Вон стоит, шерсть на носу, глаз вылупил, а сам слепой, как пятка, шерсть на носу… Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит, шерсть на носу, а в Тростники я не пойду, как хочешь…

— В Город, — сказал Кандид.

— В Город — другое дело, в Город я пойду, тем более, говорят, что никакого Города вообще и нету, а врет о нем этот старый пень — придет утром, половину горшка выест и начинает, шерсть на носу, плести: то нельзя, это нельзя… Я его спрашиваю: а кто ты такой, чтобы мне объяснять, что мне нельзя, а что можно, шерсть на носу? Не говорит, сам не знает, про Город какой-то бормочет…

— Выходим послезавтра, — сказал Кандид.

— А чего ждать? — возмутился Кулак. — Почему это послезавтра? У меня в доме ночевать невозможно, закваска смердит, пошли лучше сегодня вечером, а то вот так один ждал-ждал, а как ему дали по ушам, так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет… Старуха же ругается, житья нет, шерсть на носу! Слушай, Молчун, давай старуху мою возьмем, может, ее воры отберут, я бы отдал, а?

— Послезавтра выходим, — терпеливо повторил Кандид. — И ты молодец, что закваски приготовил много. Из Выселок, знаешь…

Он не закончил, потому что на поле закричали.

— Мертвяки! Мертвяки! — заорал староста. — Женщины, домой! Домой бегите!

Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли мертвяки: двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону, огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась, белые струйки пара мешались с сизым дымком.

Мертвяки эти видали виды и поэтому держались крайне осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на них отмерла, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, угрожающе и многословно бормоча, сбились в толпу с горшками травобоя наготове.

Потом староста сказал: «Чего стоим, спрашивается? Пошли, чего стоять!» — и все неторопливо двинулись на мертвяков, рассыпаясь в цепь. «В глаза! — покрикивал староста. — Старайтесь в

глаза им плеснуть! В глаза бы попасть хорошо, а иначе толку мало, если не в глаза…» В цепи пугали: «Гу-гу-гу! А ну, пошли отсюда! А-га-га-га-га!» Связываться никому не хотелось.

Кулак шел рядом с Кандидом, выдирая из бороды засохшую грязь, кричал громче других, а между криками рассуждал: «Да не-ет, зря идем, шерсть на носу, не устоят они, сейчас побегут… Разве это мертвяки? Драные какие-то, где им устоять… Гу-гу-гу-у! Вы!» Подойдя к мертвякам шагов на двадцать, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли, тот с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загугукали и затопали ногами, некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. Травобоя было жалко, и никому не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом, мертвяки были битые, осторожные — должно было обойтись и так.

И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, мертвяки попятились. «Ну, всё, — сказали в цепи, — не устояли, сейчас вывернутся…» Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта — они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара.

Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на собрание. «На площадь ступайте, на площадь… — повторял каждому староста. — На площади собрание будет, так что идти надо на площадь…» Кандид искал глазами Хвоста, но Хвоста в толпе что-то не было видно. Пропал куда-то Хвост. Кулак, трусивший рядом, говорил:

— А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет, шерсть на носу, да как его за голову ухватит, обнял, будто свою Наву, шерсть на носу, да как заорет… Помнишь, Молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, ты, потом весь в волдырях ходил, мокли они у тебя, болели. Зачем же ты на него прыгал, Молчун? Один вот так на мертвяка прыгал-прыгал, слупили с него кожу на пузе, больше теперь не прыгает, шерсть на носу, и детям прыгать закажет… Говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в Город унес, да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет, да и Города, говорят, никакого нет, это все этот старый пень выдумывает слова разные — Город, Одержание… А кто его, это Одержание, видел? Слухач пьяных жуков наглотается, как пойдет плести, а старый пень тут как тут, слушает, а потом бродит везде, жрет чужое и повторяет…

— Я завтра с утра на Выселки иду, — сказал Кандид. — Вернусь только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и напомни ему про послезавтра. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напомни, а то еще убредет куда-нибудь…

— Напомню, — пообещал Кулак. — Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю.

На площадь сошлась вся деревня, болтали, толкались, сыпали на пустую землю семена — выращивали подстилки, чтобы мягко было сидеть. Под ногами путались детишки, их возили за вихры и за уши, чтобы не путались. Староста, бранясь, отгонял колонну плохо обученных муравьев, потащивших было личинки рабочей мухи прямо через площадь, допрашивал окружающих, по чьему же это приказу муравьи здесь идут и что же это такое за безобразие. Подозревали Слухача и Кандида, но точно выяснить было уже невозможно.

Кандид отыскал Хвоста, хотел заговорить с ним, но не успел, потому что собрание было объявлено, и первым, как всегда, полез выступать старец. О чем он выступал, понять было

невозможно, однако все сидели смирно, прислушивались и шикали на возившихся ребятишек, чтобы не возились. Некоторые, устроившись особенно удобно — подальше от горячих солнечных пятен, — дремали.

Старец долго распространялся о том, что такое «нельзя» и в каких оно встречается смыслах, призывал к поголовному Одержанию, грозился победами на Севере и на Юге, бранил деревню, а заодно и Выселки, что везде есть новые отряды подруг, а ни в деревне, ни на Выселках — нет, и ни спокойствия нет, ни слияния, и происходит это оттого, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили себе, будто теперь все можно, а Молчун, например, так и вовсе хочет уйти в Город, хотя его никто туда не вызывал, деревня за это ответственности не несет, потому что он чужой, но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение в деревне есть, то вот тогда неизвестно, что будет, тем более что у Навы, хотя она тоже чужая, от Молчуна детей нет, и терпеть этого нельзя, а староста терпит…

К середине выступления староста тоже задремал, разморившись, но, услыхав свое имя, вздрогнул и сейчас же грозно гаркнул: «Эй! Не спать!»

— Спать дома будете, — сказал он, — на то дома и стоят, чтобы в них спать, а на площади никто не спит, на площади собрания собирают. На площади мы спать не позволяли, не позволяем и позволять никому не будем. — Он покосился на старца. Старец довольно кивнул. — Вот это и есть наше общее «нельзя». — Он пригладил волосы и сообщил: — На Выселках объявилась невеста. А у нас есть жених, известный вам всем Болтун. Болтун, ты встань и покажись… А лучше нет, ты лучше посиди так, мы тебя все знаем… Отсюда вопрос: отпускать Болтуна на Выселки или, наоборот, невесту с Выселок взять к нам в деревню… Нет-нет, ты, Болтун, посиди, мы без тебя решим… Кто там с ним рядом сидит, придержите его там хорошенько, пока собрание идет. А у кого есть мнение, тот пусть нам скажет.

Мнений оказалось два. Одни (больше соседи Болтуна) требовали, чтобы Болтуна поперли на Выселки — пусть-ка он там поживет, а мы тут. Другие же, люди спокойные и серьезные, живущие от Болтуна далеко, полагали, что нет, женщин стало мало, воруют женщин, и потому невесту надо брать к себе: Болтун — он хоть и Болтун, а детишки от него, надо полагать, все равно пойдут, это дело независимое. Спорили долго, горячо и сперва по существу. Потом Колченог неудачно выкрикнул, что время теперь военное, а все про это забывают. От Болтуна сразу отвлеклись. Слухач стал объяснять, что никакой войны нет и никогда не было, а есть и будет Большое Разрыхление Почвы. Да не Разрыхление, возразили в толпе, а Необходимое Заболачивание. Разрыхление давно кончилось, уже сколько лет как Заболачивание, а Слухачу невдомек, да и откуда ему знать, раз он Слухач. Поднялся старец и, выкатив глаза, хрипло завопил, что все это нельзя, что нет никакой войны, и нет никакого Разрыхления, и нет никакого такого Заболачивания, а есть, была и будет Поголовная Борьба на Севере и на Юге. Как же нет войны, шерсть на носу, отвечали ему, когда за чудаковой деревней полное озеро утопленников? Собрание взорвалось. Мало ли что утопленники! Где вода, там и утопленники, за чудаковой деревней все не как у людей, и чудакова деревня нам не указ, они с глины едят, под глиной живут, жену-то ворам отдал, а теперь на утопленников ссылаешься? Да никакие это не утопленники, и не борьба это, и не война, а Спокойствие это и Слияние в целях Одержания! А почему же тогда Молчун в Город идет? Молчун в Город идет — значит Город есть, а раз есть, то какая же может быть война — ясно, что Слияние!.. А мало ли куда идет Молчун? Один вот тоже шел, дали ему хорошенько по ноздрям, больше никуда не идет… Молчун потому и идет в Город, что Города нет, знаем мы Молчуна, Молчун дурак-дурак, а умный, его, Молчуна, на кривой не объедешь, а раз Города нет, то какое

же может быть Слияние?.. Нет никакого Слияния, одно время, правда, было, но уже давно нет… Так и Одержания уже нет!.. Это кто там кричит, что нет Одержания? Ты в каком это смысле кричишь? Ты это что?.. Болтуна! Болтуна держите!.. Эх, не удержали Болтуна! Что же вы Болтуна не удержали?..

Кандид, зная, что теперь это надолго, попытался начать разговор с Хвостом, но Хвосту было не до разговоров. Хвост кричал, надсаживаясь:

— Одержание?! А мертвяки почему?! Про мертвяков молчите, потому что знать не знаете, что о них и думать, вот и кричите про всякое Одержание!..

Покричали про мертвяков, потом про грибные деревни, потом устали и начали затихать, утирая лица, обессиленно отмахиваясь друг от друга, и скоро обнаружилось, что все уже молчат, а спорят только старец и Болтун. Тогда все опомнились. Болтуна посадили, навалились, напихали ему в рот листьев. Старец еще некоторое время говорил, но потерял голос и не был слышен. Тогда встал взъерошенный представитель от Выселок и, прижимая руки к груди, искательно озираясь, стал сорванным голосом просить, чтобы Болтуна к ним на Выселки не отдавали, не надо им Болтуна, сто лет без Болтуна жили и еще сто лет проживут, а чтобы взяли невесту к себе, и тогда за приданым Выселки не постоят, сами увидите… Начинать спор снова ни у кого уже не было сил — обещали подумать и решить потом, тем более что не горит.

Народ стал расходиться на обед. Хвост взял Кандида за руку и оттащил в сторонку под дерево.

— Так когда же идем? — спросил он. — Мне в деревне вот как надоело, я в лес хочу, тут я от скуки больной скоро сделаюсь… Не пойдешь — так и скажи, я один пойду, Кулака или Колченога подговорю и с ними вместе уйду…

— Послезавтра выходим, — сказал Кандид. — Пищу ты приготовил?

— Я пищу приготовил и уже съел, у меня терпения не хватает на нее смотреть, как она зря лежит и никто ее, кроме старика, не ест, у меня от него просто все болит, я этому старику когда-нибудь шею накостыляю, если скоро не уйду… Как ты думаешь, Молчун, кто такой этот старик, почему он у всех все ест и где он живет? Я — человек бывалый, я в десяти деревнях бывал, у чудаков бывал, даже к заморенным заходил, ночевал у них и от страха чуть не околел, а такого старика нигде не видел, он у нас какой-то редкостный старик, наверное, мы его потому и держим и не бьем, но у меня больше никакого терпения не хватает смотреть, как он по моим горшкам днем и ночью шарит — и на месте ест, и с собой уносит, а ведь его еще мой отец ругал, пока его мертвяки не забили… И как в него все это влазит? Ведь кожа да кости, там у него внутри и места нет, а два горшка вылижет и с собой два унесет, а горшки никогда обратно не возвращает… Знаешь, Молчун, может, это у нас не один старик такой, может, их у нас двое или даже трое? Двое спят, а один работает. Нажрется, второго разбудит, а сам отдохнуть укладывается…

Хвост проводил Кандида до дома, но обедать у него отказался — из деликатности. Поговорив еще минут пятнадцать о том, как на озере в Тростниках приманивают рыбу шевелением пальцев, согласившись зайти завтра к Колченогу и напомнить ему про поход в Город, рассказав, что Слухач — никакой на самом деле не Слухач, а просто очень уж болезненный человек, и что мертвяки ловят женщин в пищу, поскольку у мужиков мясо жесткое, а зубов мертвяки не имеют, пообещав приготовить к послезавтрему новые запасы, а старика беспощадно гнать, он наконец удалился.

Кандид с трудом перевел дыхание и, прежде чем войти, немножечко постоял в дверях, мотая головой. Ты, Молчун, только не забудь, что тебе завтра на Выселки идти, с самого утра идти, не забудь, не в Тростники, не на Глиняную поляну, а на Выселки… И зачем это тебе, Молчун, на Выселки идти, шел бы ты лучше в Тростники, рыбы там много… занятно… На Выселки, не забудь, Молчун, на Выселки, не забудь, Кандид… Завтра с утра на Выселки… парней уговаривать, а то ведь вчетвером до Города не дойти… Он не заметил, что вошел в дом.

Навы еще не было, а за столом сидел старец и ждал кого-нибудь, чтобы подали обедать. Он сердито покосился на Кандида и сказал:

— Медленно ты, Молчун, ходишь, я тут в двух домах побывал — везде уже обедают, а у вас пусто… Потому у вас, наверное, и детей нет, что медленно вы ходите и дома вас никогда не бывает, когда обедать пора…

Кандид подошел к нему вплотную и некоторое время постоял, соображая. Старец говорил:

— Сколько же времени будешь ты до Города идти, если тебя и к обеду не дождаться? До Города, говорят, очень, очень далеко, я теперь все про тебя знаю, знаю, что вы в Город собрались, одного только не знаю, как это ты до Города доберешься, если ты до горшка с едой целый день добираешься и добраться не можешь… Придется мне с вами идти, я уж вас доведу, мне в Город давно надо, да дороги я туда не знаю, а в Город мне надо для того, чтобы свой долг исполнить и все обо всем кому следует рассказать…

Кандид взял его под мышки и рывком поднял от стола. От удивления старец замолчал. Кандид вынес его из дома на вытянутых руках, поставил на дорогу, а ладони свои вытер травой. Старец опомнился.

— Только вот еды вы на меня взять не забудьте, — сказал он вслед Кандиду. — Еды вы мне возьмите хорошей и побольше, потому что я иду свой долг исполнять, а вы для своего удовольствия и через «нельзя»…

Кандид вернулся в дом, сел за стол и опустил голову на стиснутые кулаки. И все-таки послезавтра я ухожу, подумал он. Вот бы что мне не забыть: послезавтра. Послезавтра, подумал он. Послезавтра, послезавтра.

Глава третья

Перец

Перец проснулся оттого, что холодные пальцы тронули его за голое плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит человек в исподнем. Света в комнате не было, но человек стоял в лунной полосе, и было видно его белое лицо с выкаченными глазами.

— Вам чего? — шепотом спросил Перец.

— Очистить надо, — тоже шепотом сказал человек.

Да это же комендант, с облегчением подумал Перец.

— Почему очистить? — спросил он громко и приподнялся на локте. — Что очистить?

— Гостиница переполнена. Вам придется очистить место.

Перец растерянно оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, остальные три койки были по-прежнему свободны.

— А вы не озирайтесь, — сказал комендант. — Нам виднее. И все равно белье надо на вашей койке менять и отдавать в стирку. Сами-то вы стирать не будете, не так воспитаны…

Перец понял: коменданту было очень страшно, и он хамил, чтобы придать себе смелости. Он был сейчас в том состоянии, когда тронь человека — и он завопит, заверещит, задергается, высадит раму и станет звать на помощь.

— Давай, давай, — сказал комендант и в каком-то жутком нетерпении потянул из-под Переца подушку. — Белье, говорят…

— Да что же это, — проговорил Перец. — Обязательно сейчас? Ночью?

— Срочно.

— Господи, — сказал Перец. — Вы не в своем уме. Ну хорошо… Забирайте белье, я и так обойдусь, мне всего эта ночь осталась.

Он слез с койки на холодный пол и стал сдирать с подушки наволочку. Комендант, словно бы оцепенев, следил за ним выпученными глазами. Губы его шевелились.

— Ремонт, — сказал он наконец. — Ремонт пора делать. Обои все ободрались, потолок потрескался, полы перестилать надо… — Голос его окреп. — Так что место вы все равно очищайте. Сейчас мы здесь начнем делать ремонт.

— Ремонт?

— Ремонт. Обои-то какие стали, видите? Сейчас сюда рабочие придут.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас. Ждать больше немыслимо. Потолок весь растрескался. Того и гляди…

Переца бросило в дрожь. Он оставил наволочку и взял в руки штаны.

— Который час? — спросил он.

— Первый час уже, — сказал комендант, снова переходя на шепот и почему-то озираясь.

— Куда же я пойду? — сказал Перец, остановившись с одной ногой в штанине. — Ну, вы меня устройте где-нибудь. В другом номере…

— Переполнено. А где не переполнено, там ремонт.

— Ну, в дежурке.

— Переполнено.

Перец с тоской уставился на луну.

— Ну хоть в кладовой, — сказал он. — В кладовой, в бельевой, в изоляторе. Мне всего шесть часов осталось спать. Или, может быть, вы меня у себя как-нибудь поместите…

Комендант вдруг заметался по комнате. Он бегал между койками, босой, белый, страшный, как привидение. Потом он остановился и сказал стонущим голосом:

— Да что же это, а? Ведь я тоже цивилизованный человек, два института окончил, не туземец какой-нибудь… Я же все понимаю! Но невозможно, поймите! Никак невозможно! — Он подскочил к Перецу и прошептал ему на ухо: — У вас виза истекла! Двадцать семь минут уже как истекла, а вы все еще здесь. Нельзя вам быть здесь. Очень я вас прошу… — Он грохнулся на колени и вытащил из-под кровати ботинки и носки Переца. — Я без пяти двенадцать проснулся весь в поту, — бормотал он. — Ну, думаю, все. Вот и конец мой пришел. Как был, так и побежал. Ничего не помню. Облака какие-то на улицах, гвозди цепляют за ноги… А у меня жена родить должна! Одевайтесь, одевайтесь, пожалуйста…

Перец торопливо оделся. Он плохо соображал. Комендант все бегал между койками, шлепая по лунным квадратам, выглядывал в коридор, высовывался в окна и шептал: «Боже мой, что же это…»

— Можно я хоть чемодан у вас оставлю? — спросил Перец.

Комендант лязгнул зубами.

— Ни в коем случае! Вы же меня погубите… Ну надо же быть таким бессердечным! Боже мой, боже мой…

Перец кое-как собрал книги, с трудом закрыл чемодан, взял на руку плащ и спросил:

— Куда же мне теперь?

Комендант не ответил. Он ждал, приплясывая от нетерпения. Перец поднял чемодан и по темной тихой лестнице спустился на улицу. Он остановился на крыльце и, стараясь унять дрожь, некоторое время слушал, как комендант втолковывал сонному дежурному: «…будет назад проситься. Не пускать! У него… (неясный зловещий шепот) понял? Ты отвечаешь…» Перец сел на чемодан и положил плащ на колени.

— Нет уж, извините, — сказал комендант у него за спиной. — С крыльца попрошу сойти. Территорию гостиницы попрошу все-таки полностью очистить.

Пришлось сойти и поставить чемодан на мостовую. Комендант потоптался немного, бормоча: «Очень прошу… Жена… Без никаких эксцессов… последствия… Нельзя…» — и ушел, белея исподним, крадясь вдоль забора. Перец поглядел на темные окна коттеджей, на темные окна Управления, на темные окна гостиницы. Нигде не было света, даже уличные фонари не горели. Была только луна — круглая, блестящая и какая-то злобная.

И вдруг он обнаружил, что он один. У него никого не было. Вокруг спят люди, и все они любят меня, я это знаю, я много раз это видел. И все-таки я один, словно они вдруг умерли или стали моими врагами… И комендант — добрый уродливый человек, страдающий базедовой болезнью, неудачник, прилепившийся ко мне с первого же дня… Мы играли с ним на пианино в четыре руки и спорили, и я был единственным, с кем он осмеливался спорить и рядом с кем он чувствовал себя полноценным человеком, а не отцом семерых детей. И Ким. Он вернулся из канцелярии и

принес огромную папку с доносами. Девяносто два доноса на меня, все написаны одним почерком и подписаны разными фамилиями. Что я ворую казенный сургуч на почте, и что я привез в чемодане малолетнюю любовницу и прячу ее в подвале пекарни, и что я еще много чего… И Ким читал эти доносы и одни бросал в корзину, а другие откладывал в сторону, бормоча: «А это надо обмозговать…» И это было неожиданно и ужасно, бессмысленно и отвратительно… Как он робко взглядывал на меня и сразу отводил глаза…

Перец поднялся, взял чемодан и побрел куда глаза глядят. Глаза никуда не глядели. Да и не на что было глядеть на этих пустых темных улицах. Он спотыкался, он чихал от пыли и, кажется, несколько раз упал. Чемодан был невероятно тяжелый и какой-то неуправляемый. Он грузно терся о ногу, потом тяжело отплывал в сторону и, вернувшись из темноты, с размаху ударял по колену. В темной аллее парка, где совсем не было света и только зыбкие, как комендант, статуи смутно белели во мраке, чемодан вдруг вцепился в штанину какой-то отставшей пряжкой, и Перец в отчаянии бросил его. Пришел час отчаяния. Плача и ничего не видя из-за слез, Перец продрался через колючие сухие и пыльные живые изгороди, скатился по ступенькам, упал, больно ударившись спиной, в какую-то канаву и совсем уже без сил, задыхаясь от обиды и от жалости, опустился на колени у края обрыва.

Но лес оставался безразличен. Он был так безразличен, что даже не был виден. Под обрывом была тьма, и только на самом горизонте что-то широкое и слоистое, серое и бесформенное вяло светилось в сиянии луны.

— Проснись, — попросил Перец. — Погляди на меня хотя бы сейчас, когда мы одни, не беспокойся, они все спят. Неужели тебе никто из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое — нужен? Это когда нельзя обойтись без. Это когда все время думаешь о. Это когда всю жизнь стремишься к. Я не знаю, какой ты. Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, какой ты есть, но могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь хотел тебя видеть: добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это, у нас не хватает на это ни сил, ни времени, мы только строим памятники, все больше, все выше, все дешевле, а помнить — помнить мы уже не можем. Но ты-то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе, издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали, а должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят между нами? Их много, я один, но я — один из них, ты, наверное, не различаешь меня в толпе, а может быть, меня и различать не стоит. Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя придумал…

Из-за горизонта вдруг медленно всплыли яркие белые комочки света, повисли, распухая, и сразу же справа под утесом, под нависшими скалами суматошно забегали лучи прожекторов, заметались по небу, застревая в слоях тумана. Световые комочки над горизонтом все распухали, растягивались, обратились в белесые облачка и погасли. Через минуту погасли и прожектора.

— Они боятся, — сказал Перец. — Я тоже боюсь. Но я боюсь не только тебя, я еще боюсь и за тебя. Ты ведь их еще не знаешь. Впрочем, я их тоже знаю очень плохо. Я знаю только, что они способны на любые крайности, на самую крайнюю степень тупости и мудрости, жестокости и жалости, ярости и выдержки. У них нет только одного: понимания. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами: верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. Проще разочароваться, чем понять.

Проще плюнуть, чем понять. Между прочим, я завтра уезжаю, но это еще ничего не значит. Здесь я не могу помочь тебе, здесь все слишком прочно, слишком устоялось. Я здесь слишком уж заметно лишний, чужой. Но точку приложения сил я еще найду, не беспокойся. Правда, они могут необратимо загадить тебя, но на это тоже надо время, и немало: им ведь еще нужно найти самый эффективный, экономичный и главное простой способ. Мы еще поборемся, было бы за что бороться… До свидания.

Перец поднялся с колен и побрел назад, через кусты, в парк, на аллею. Он попытался найти чемодан и не нашел. Тогда он вернулся на главную улицу, пустую и освещенную только луной. Был уже второй час ночи, когда он остановился перед приветливо раскрытой дверью библиотеки Управления. Окна библиотеки были завешены тяжелыми шторами, а внутри она была освещена ярко, как танцевальный павильон. Паркет рассохся и отчаянно скрипел, и вокруг были книги. Стеллажи ломились от книг, книги грудами лежали на столах и по углам, и кроме Переца и книг в библиотеке не было ни души.

Перец опустился в большое старое кресло, вытянул ноги и, откинувшись, покойно положил руки на подлокотники. Ну, что стоите, сказал он книгам. Бездельники! Разве для этого вас писали? Доложите, доложите-ка мне, как идет сев, сколько посеяно? Сколько посеяно: разумного? доброго? вечного? И какие виды на урожай? А главное — каковы всходы? Молчите… Вот ты, как тебя… Да-да, ты, двухтомник! Сколько человек тебя прочитало? А сколько поняло? Я очень люблю тебя, старина, ты добрый и честный товарищ. Ты никогда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И те, кто тебя читают, тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой… Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые ноги и нечищенные башмаки… Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. Управлению, например, для его правильного функционирования ни честность, ни доброта не нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь для банщика. Как бицепсы для бухгалтера. Как уважение к женщине для Домарощинера… Но все зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато»: алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проповедник; вор ведь, выжига, но зато какой администратор! Убийца, зато как дисциплинирован и предан… А можно понимать прогресс как превращение всех людей в добрых и честных. И тогда мы доживем когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: специалист он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать его надо…

Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы? Многие из вас дают знания, но зачем это знание в лесу? Оно не имеет к лесу никакого отношения. Это как если бы будущего строителя солнечных городов старательно учили бы фортификации, и тогда, как бы он потом ни тщился построить стадион или санаторий, у него все выходил бы какой-нибудь угрюмый редут с флешами, эскарпами и контрэскарпами. То, что вы дали людям, которые пришли в лес, это не знание, это предрассудки… Другие из вас вселяют неверие и упадок духа. И не потому, что они мрачны, или жестоки, или предлагают оставить надежду, а потому что лгут. Иногда лгут лучезарно, с бодрыми песнями и лихим посвистом, иногда плаксиво, стеная и оправдываясь, но

— лгут. Почему-то такие книги никогда не сжигают и никогда не изымают из библиотеки, не было еще в истории человечества случая, чтобы ложь предавали огню. Разве что случайно, не разобравшись или поверив. В лесу они тоже не нужны. Они нигде не нужны. Наверное, именно поэтому их так много… То есть не поэтому, а потому что их любят… Тьмы горьких истин нам дороже… Что? Кто это тут разговаривает? Ах, это я разговариваю… Так вот я и говорю, что есть еще книги… Что?..

— Тише, пусть спит…

— Чем спать, лучше бы выпил.

— Да не скрипи ты так… Ой, да это же Перец!

— А что нам Перец, ты знай не падай…

— Неухоженный какой-то, жалкий…

— Я не жалкий, — пробормотал Перец и проснулся.

Перед стеллажом напротив стояла библиотечная лесенка. На верхней ее ступени стояла Алевтина из фотолаборатории, а внизу шофер Тузик держал лесенку вытатуированными руками и смотрел вверх.

— И всегда-то он какой-то неприкаянный, — сказала Алевтина, глядя на Переца. — И не ужинал, наверное. Надо бы его разбудить, пусть хоть водки выпьет… Что, интересно, такие люди видят во сне?

— А вот что я вижу наяву!.. — сказал Тузик, глядя вверх.

— Что-нибудь новое? — спросила Алевтина. — Никогда раньше не видел?

— Да нет, — сказал Тузик. — Нельзя сказать, чтобы особенно новое, но это как кино бывает — двадцать раз смотришь и все с удовольствием.

На третьей ступеньке лестницы лежали ломти здоровенного штруделя, на четвертой ступеньке были разложены огурцы и очищенные апельсины, а на пятой ступеньке стояла полупустая бутылка и пластмассовый стаканчик для карандашей.

— Ты смотреть смотри, а лесенку держи хорошенько, — сказала Алевтина и принялась доставать с верхних полок стеллажа толстые журналы и выцветшие папки. Она сдувала с них пыль, морщилась, листала страницы, некоторые папки откладывала в сторону, а прочие ставила на прежнее место. Шофер Тузик громко сопел.

— А за позапрошлый год тебе нужно? — спросила Алевтина.

— Мне сейчас одно нужно, — загадочно сказал Тузик. — Вот я сейчас Переца разбужу.

— Не отходи от лестницы, — сказала Алевтина.

— Я не сплю, — сказал Перец. — Я уже давно на вас смотрю.

— Оттуда ничего не видно, — сказал Тузик. — Вы сюда идите, пан Перец, тут все есть: и женщины, и вино, и фрукты…

Перец поднялся, припадая на отсиженную ногу, подошел к лестнице и налил себе из бутылки.

— Что вы видели во сне, Перчик? — спросила Алевтина сверху. Перец механически взглянул вверх и сейчас же опустил глаза.

— Что я видел… Какую-то чепуху… Разговаривал с книгами.

Он выпил и взял дольку апельсина.

— Подержите-ка минуточку, пан Перец, — сказал Тузик. — Я себе тоже налью.

— Так тебе за позапрошлый год нужно? — спросила Алевтина.

— А как же! — сказал Тузик. Он плеснул себе в стаканчик и стал выбирать огурец. — И за позапрошлый, и за позапозапрошлый… Мне всегда нужно. У меня это всегда было, я без этого жить не могу. Да без этого никто жить не может. Одному больше надо, другому — меньше… Я всегда говорю: чего вы меня учите, такой уж я человек… — Тузик выпил с большим удовольствием и с хрустом закусил огурец. — А так жить невозможно, как я здесь живу. Я вот еще немного потерплю-потерплю, а потом угоню машину в лес и русалку себе поймаю…

Перец держал лестницу и пытался думать о завтрашнем дне, а Тузик, присев на нижнюю ступеньку, принялся рассказывать, как в молодости они с компанией приятелей поймали на окраине парочку, ухажера побили и прогнали, а дамочку попытались использовать. Было холодно, сыро, по крайней молодости лет ни у кого ничего не получалось, дамочка плакала, боялась, и приятели один за другим от нее отстали, и только он, Тузик, долго тащился за нею по грязным задворкам, хватал, ругался, и все ему казалось, что вот-вот получится, но никак не получалось, пока он не довел ее до самого ее дома, и там, в темной парадной, прижал ее к железным перилам и получил, наконец, свое. В Тузиковом изложении случай казался чрезвычайно захватывающим и веселым.

— Так что русалочки от меня не уйдут, — сказал Тузик. — Я своего не упускаю и сейчас не упущу. У меня что на витрине, то и в магазине — без обмана.

У него было смуглое красивое лицо, густые брови, живые глаза и полный рот отличных зубов. Он был очень похож на итальянца. Только вот от ног у него пахло.

— Господи, что делают, что делают, — сказала Алевтина. — Все папки перепутали. На, держи пока эти.

Она наклонилась и передала Тузику кипу папок и журналов. Тузик принял кипу, перебросил несколько страниц, почитал про себя, шевеля губами, пересчитал папки и сказал:

— Еще две штуки нужно.

Перец все держал лестницу и смотрел на свои сжатые кулаки. Завтра в это время меня уже здесь не будет, думал он. Я буду сидеть рядом с Тузиком в кабине, будет жарко, металл еще только начнет остывать. Тузик включит фары, развалится поудобнее, высунув левый локоть в окно, и примется рассуждать о мировой политике. Больше я ему ни о чем не дам рассуждать. Пусть он останавливается возле каждой закусочной, пусть берет каких угодно попутчиков, пусть даже сделает крюк, чтобы перевезти кому-нибудь молотилку из ремонта. Но рассуждать я ему дам только о мировой политике. Или буду расспрашивать про разные автомобили. Про нормы расхода

горючего, про аварии, про убийства взяточников-инспекторов. Он хороший рассказчик, и никогда не поймешь, врет он или говорит правду…

Тузик выпил еще порцию, причмокнул, поглядел на Алевтинины ноги и стал рассказывать дальше, ерзая, выразительно жестикулируя и заливаясь жизнерадостным смехом. Скрупулезно придерживаясь хронологии, он рассказывал историю своей половой жизни, как она протекала из года в год, из месяца в месяц. Повариха из концентрационного лагеря, где он сидел за кражу бумаги в голодное время (повариха приговаривала: «Ну, не подкачай, Тузик, ну, смотри!..»). Дочка политического заключенного из того же лагеря (ей было все равно — кто, она была уверена, что ее все равно сожгут). Жена одного моряка из портового города, пытавшаяся таким образом отомстить своему кобелю-мужу за непрерывные измены. Одна богатая вдова, от которой Тузику потом пришлось убегать ночью в одних кальсонах, потому что она хотела бедного Тузика взять за себя и заставить торговать наркотиками и стыдными медицинскими препаратами. Женщины, которых он возил, когда работал шофером такси: они платили ему по монете с гостя, а в конце ночи — натурой («…Я ей говорю: что же это ты, а обо мне кто подумает — ты вот уже с четырьмя, а я еще ни с одной…»). Потом жена, пятнадцатилетняя девочка, которую он взял за себя по специальному разрешению властей, — она родила ему двойню и в конце концов ушла от него, когда он попытался расплачиваться ею с приятелями за приятелевых любовниц. Женщины… девки… стервы… бабочки… падлы… сучки…

— Так что никакой я не развратник, — заключил он. — Просто я темпераментный мужчина, а не какой-нибудь слабосильный импотент…

Он допил спиртное, забрал папки и, не простившись, ушел, скрипя паркетом и насвистывая, странно сутулясь, похожий неожиданно не то на паука, не то на первобытного человека. Перец беспомощно смотрел ему вслед, когда Алевтина сказала:

— Дайте мне руку, Перчик.

Она присела на верхней ступеньке, опустила руки ему на плечи и, тихонько взвизгнув, спрыгнула вниз. Он поймал ее под мышки и опустил на пол, и некоторое время они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. Она держала руки у него на плечах, а он держал ее под мышками.

— Меня из гостиницы выгнали, — сказал он.

— Я знаю, — сказала она. — Пойдемте ко мне, хотите?

Она была добрая и теплая и смотрела ему в глаза спокойно, хотя и без особой уверенности. Глядя на нее, можно было представить себе много добрых, теплых и сладких картин, и Перец жадно проглядел все эти картины одну за другой и попытался представить самого себя рядом с нею, но вдруг почувствовал, что это не получается: вместо себя он видел Тузика, красивого, наглого, точного в движениях и пахнущего ногами.

— Да нет, спасибо, — сказал он и отнял от нее руки. — Я уж как-нибудь так.

Она сейчас же повернулась и принялась собирать остатки еды на газетный лист.

— А зачем же — так? — сказала она. — Я вам могу на диване постелить. До утра поспите, а утром найдем вам комнату. Нельзя же каждую ночь сидеть в библиотеке…

— Спасибо, — сказал Перец. — Только завтра я уезжаю.

Она изумленно оглянулась на него.

— Уезжаете? В лес?

— Нет, домой.

— Домой… — Она медленно заворачивала еду в газету. — Но ведь вы же все время хотели попасть в лес, я сама слышала.

— Да видите ли, я хотел… Но меня туда не пускают. Не знаю даже почему. А в Управлении мне делать нечего. Вот я и договорился… Тузик меня завтра отвезет. Сейчас уже три часа. Пойду в гараж, заберусь в Тузиков грузовик и подожду там до утра. Так что вы не беспокойтесь…

— Значит, будем прощаться… А то, может, пойдемте все-таки?

— Спасибо, но я лучше в машине… Проспать боюсь. Тузик ведь ждать не станет.

Они вышли на улицу и рука об руку пошли к гаражу.

— Значит, вам не понравилось, что Тузик рассказывал? — спросила она.

— Нет, — сказал Перец. — Совсем не понравилось. Не люблю, когда об этом рассказывают. Зачем? Стыдно как-то… И за него стыдно, и за вас стыдно, и за себя. За всех. Слишком бессмысленно все это. Как от большой скуки.

— Чаще всего это и бывает от большой скуки, — сказала Алевтина. — А за меня вы не стыдитесь, я к этому равнодушна. Мне это совершенно безразлично. Ну вот, вам сюда. Поцелуйте меня на прощание.

Перец поцеловал ее, ощущая какое-то смутное сожаление.

— Спасибо, — сказала она, повернулась и быстро пошла в другую сторону. Перец зачем-то помахал ей вслед рукой.

Потом он вошел в гараж, освещенный синими лампочками, перешагнул через храпевшего на вытащенном автомобильном сиденье охранника, нашел Тузиков грузовик и забрался в кабину. Здесь пахло резиной, бензином, пылью. На ветровом стекле, растопырившись, покачивался Микки-Маус. Хорошо, подумал Перец, уютно. Надо было сразу сюда идти. Вокруг стояли молчаливые машины, темные и пустые. Громко храпел охранник. Машины спали, охранник спал, и спало все Управление. И Алевтина раздевалась перед зеркалом в своей комнате рядом с расстеленной кроватью, большой, двуспальной, мягкой, жаркой… Нет, об этом не надо. Потому что днем мешает болтовня, стук «мерседеса», весь деловой бессмысленный хаос, а сейчас нет ни искоренения, ни проникновения, ни охраны, ни прочих зловещих глупостей, а есть сонный мир над обрывом, призрачный, как все сонные миры, невидимый и неслышимый, и нисколько не более реальный, чем лес. Лес сейчас даже более реален: лес ведь никогда не спит. А может быть, он спит и всех нас видит во сне. Мы — сон леса. Атавистический сон. Грубые призраки его охладевшей сексуальности…

Перец лег, скорчившись, и подсунул под голову скомканный плащ. Микки-Маус тихонько покачивался на ниточке. При виде этой игрушки девушки всегда вскрикивали: «Ах, какой хорошенький!», а шофер Тузик им отвечал: «Что на витрине, то и в магазине». Рычаг передач упирался Перецу в бок, и Перец не знал, как его убрать. И можно ли его убрать. Может быть, если

его убрать, машина поедет. Сначала медленно, потом все быстрее, прямо на спящего охранника, а Перец будет метаться по кабине и нажимать на все, что попадется под руки и под ноги, а охранник все ближе, уже виден его раскрытый храпящий рот. Потом машина подпрыгивает, круто сворачивает, врезается в стену гаража, и в проломе показывается синее небо…

Перец проснулся и увидел, что уже утро. В распахнутых дверях гаража курили механики, и была видна площадь перед гаражом, желтая от солнца. Было семь часов. Перец сел, потер лицо и посмотрелся в зеркальце заднего вида. Побриться бы надо, подумал он, но не вылез из машины. Тузика еще не было, и надо было ждать его здесь, на месте, потому что все шоферы забывчивы и всегда уезжают без него. Есть два правила общения с шоферами: во-первых, никогда не вылезай из машины, если можешь терпеть и ждать; и во-вторых, никогда не спорь с шофером, который тебя везет. В крайнем случае притворись спящим…

Механики в воротах бросили окурки, тщательно растерли их носками ботинок и вошли в гараж. Одного Перец не знал, а второй был, оказывается, вовсе не механик, а менеджер. Они прошли рядом, причем менеджер задержался возле кабины и, положив руку на крыло, почему-то заглянул под грузовик. Потом Перец услыхал, как он распоряжается: «Ну, пошевеливайся, давай домкрат». — «А он где?» — спросил незнакомый механик. «…! — спокойно сказал менеджер. — Под сиденьем посмотри». — «Откуда же мне знать, — раздраженно сказал механик. — Я же вас предупреждал, что я официант…» Некоторое время было тихо, потом водительская дверца кабины открылась и появилось хмурое расстроенное лицо механика-официанта. Он посмотрел на Переца, оглядел кабину, зачем-то подергал руль, а потом запустил обе руки под сиденье и начал там греметь.

— Это, что ли, домкрат? — спросил он негромко.

— Н-нет, — сказал Перец. — Это, по-моему, разводной ключ.

Механик поднес разводной ключ к глазам, осмотрел его, поджав губы, положил на подножку и снова запустил руки под сиденье.

— Это? — спросил он.

— Нет, — сказал Перец. — Это я могу вам совершенно точно сказать. Это арифмометр. Домкраты не такие.

Механик-официант, сморщив низкий лоб, разглядывал арифмометр.

— А какие? — спросил он.

— Н-ну… Такая железная палка… Они разные бывают. У них такая подвижная ручка…

— А вот тут есть ручка. Как у кассы.

— Нет, это совсем другая ручка.

— А если эту повертеть, что будет?

Перец совсем затруднился. Механик подождал, со вздохом положил арифмометр на подножку и снова полез под сиденье.

— Может, вот это? — спросил он.

— Пожалуй. Очень похоже. Только там должна быть еще такая железная спица. Толстая.

Механик нашел и спицу. Он покачал ее на ладони, сказал: «Ладно, отнесу ему это для начала», — и ушел, оставив дверцу открытой. Перец закурил. Где-то сзади звякало железо и бранились. Потом грузовик начал покрякивать и вздрагивать.

Тузика все не было, но Перец не беспокоился. Он представлял себе, как они покатят по главной улице Управления, и никто не будет на них смотреть. Потом они свернут на проселок, потащат за собой кучу желтой пыли, а солнце будет подниматься все выше, оно будет справа от них и скоро начнет припекать, а они свернут с проселка на шоссе, и оно будет длинное, ровное, блестящее и скучное, и у горизонта будут струиться миражи, похожие на большие сверкающие лужи…

Мимо кабины снова прошел механик, катя перед собой тяжелое заднее колесо. Колесо разогналось на бетонном полу, и видно было, что механик хочет его остановить и прислонить к стене, но колесо только слегка свернуло и грузно выкатилось во двор, а механик неловко побежал за ним, все больше отставая. Потом они скрылись из глаз, и во дворе механик громко и отчаянно закричал. Послышался топот многих ног, и мимо ворот с криками: «Лови его! Заходи справа!» — пробежали еще люди.

Перец заметил, что машина стоит не так ровно, как раньше, и выглянул из кабины. Менеджер возился возле заднего колеса.

— Здравствуйте, — сказал Перец. — Что это вы…

— А, Перец, дорогой! — радостно вскричал менеджер, не прекращая работы. — Да вы сидите, сидите, не вылезайте! Вы нам не мешаете. Заело, дрянь проклятая… Одно вот хорошо снялось, а второе заело…

— Как заело? Испортилось что-нибудь?

— Не думаю, — сказал менеджер, выпрямляясь и вытирая лоб тыльной стороной ладони, в которой он держал ключ. — Просто приржавело, наверное, немножко. Ну, я его сейчас, быстро… А потом мы с вами шахматишки расставим. Как вы полагаете?

— Шахматишки? — сказал Перец. — А где Тузик?

— Тузик-то? То есть Туз? Туз у нас теперь старший лаборант. Направлен он в лес. Туз у нас больше не работает. А зачем он вам?

— Да так… — тихо сказал Перец. — Просто я предполагал… — Он открыл дверь и спрыгнул на цементный пол.

— Да вы зря беспокоитесь, — сказал менеджер. — Сидели бы там, вы же не мешаете.

— Да что же сидеть, — сказал Перец. — Ведь эта машина не поедет?

— Нет, не поедет. Без колес она не может, а колеса надо снять… Надо же, как заело! А, чтоб тебя… Ладно, механики снимут. Пойдемте-ка мы лучше расставим.

Он взял Переца под руку и отвел в свой кабинет. Там они сели за стол, менеджер отодвинул в сторону кучу бумаг, поставил шахматы и выключил телефон.

— С часами будем играть? — спросил он.

— Да я как-то даже не знаю, — сказал Перец.

В кабинете было сумеречно и холодно, сизый табачный дым плавал между шкафами, как студенистые водоросли, а менеджер — бородавчатый, раздутый, пестрящий разноцветными пятнами, — словно гигантский осьминог, двумя волосатыми щупальцами вскрыл лакированную раковину шахматной доски и принялся хлопотливо извлекать из нее деревянные внутренности. Круглые глаза его тускло поблескивали, и правый, искусственный, был все время направлен в потолок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался в орбите, устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску.

— С часами, — решил наконец менеджер. Он вынул из шкафа часы, завел их и, нажавши кнопку, сделал первый ход.

Солнце поднималось. На дворе кричали: «Заходи справа!» В восемь часов менеджер в трудном положении глубоко задумался и вдруг потребовал завтрак на двоих. Из гаража с рокотом выкатывались автомобили. Менеджер проиграл одну партию и предложил другую. Они плотно позавтракали: выпили по две бутылки кефиру и съели по черствому штруцелю. Менеджер проиграл вторую партию, с преданностью и восхищением поглядел на Переца живым глазом и предложил третью. Он разыгрывал все время один и тот же ферзевый гамбит, не отклоняясь ни на ход от выбранного раз и навсегда проигрышного варианта. Он словно отрабатывал поражение, и Перец переставлял фигуры совершенно автоматически, ощущая себя тренировочной машиной: ни в нем, ни в мире не было ничего, кроме шахматной доски, кнопки часов и жестко заданной программы действий.

Без пяти девять репродуктор внутреннего вещания хрюкнул и объявил бесполым голосом: «Всем работникам Управления находиться у телефонов. Ожидается обращение директора к сотрудникам». Менеджер стал очень серьезным, включил телефон, снял трубку и приложил ее к уху. Теперь в потолок были направлены оба его глаза. «Мне можно идти?» — спросил Перец. Менеджер страшно нахмурился, прижал палец к губам, а потом замахал на Переца рукой. В телефонной трубке раздалось гнусавое кваканье. Перец на цыпочках вышел.

В гараже было много народу. Лица у всех были строгие, значительные, даже торжественные. Никто не работал, все прижимали к ушам телефонные трубки. Только на ярко освещенном дворе одинокий официант-механик, потный, красный, растерзанный, хрипло дыша, гонялся за колесом. Происходило что-то очень важное. Нельзя же так, подумал Перец, нельзя, я все время в стороне, я никогда ничего не знаю, может быть, в этом вся беда, может быть, на самом деле все правильно, но я не знаю, что к чему, и поэтому все время оказываюсь лишним.

Он заскочил в будку ближайшего телефона-автомата, сорвал трубку, жадно прислушался, но в трубке были только гудки. Тогда он почувствовал внезапный страх, зудящее опасение, что он опять куда-то опаздывает, что опять где-то что-то всем раздают, а он как всегда останется без. Прыгая через канавы и ямы, он пересек строительную площадку, шарахнулся от заступившего ему дорогу охранника с пистолетом в одной руке и с телефонной трубкой в другой и по приставной лестнице вскарабкался на недостроенную стену. Во всех окнах он успел увидеть сосредоточенно застывших людей с телефонными трубками, затем над ухом у него пронзительно взвизгнуло, и почти сразу он услыхал за спиной револьверный выстрел, спрыгнул вниз, в кучу мусора, и бросился к служебному входу. Дверь была заперта. Он несколько раз рванул ручку, ручка

сломалась. Он отшвырнул ее в сторону и секунду соображал, что делать дальше. Рядом с дверью было раскрытое узкое окно, и он влез в него, весь перепачкавшись в пыли и сорвав ногти на пальцах.

В комнате, куда он попал, было два стола. За одним сидел с телефонной трубкой Домарощинер. Лицо у него было каменное, глаза закрыты. Он прижимал трубку к уху плечом и что-то быстро записывал карандашом в большом блокноте. Второй стол был пуст, и на нем стоял телефон. Перец жадно схватил трубку и стал слушать.

Шорох. Потрескивания. Незнакомый писклявый голос: «…Управление реально может распоряжаться только ничтожным кусочком территории в океане леса, омывающего континент. Смысла жизни не существует и смысла поступков тоже. Мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Он даже не противостоит, он попросту не замечает. Если поступок принес вам удовольствие — хорошо, если не принес — значит, он был бессмысленным…» Снова шорох и потрескивания. «…Противостоим миллионами лошадиных сил, десятками вездеходов, дирижаблей и вертолетов, медицинской наукой и лучшей в мире теорией снабжения. У Управления обнаруживаются по крайней мере два крупных недостатка. В настоящее время акции подобного рода могут иметь далеко идущие шифровки на имя Геростратa, чтобы он оставался нашим любимейшим другом. Оно совершенно не способно созидать, не разрушая авторитета и неблагодарности…» Гудки, свист, звуки, похожие на надрывный кашель. «…Оно очень любит так называемые простые решения, библиотеки, внутреннюю связь, географические и другие карты. Пути, которые оно почитает кратчайшими, чтобы думать о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Сотрудники сидят, спустив ноги в пропасть, каждый на своем месте, толкаются, острят и швыряют камешки, и каждый старается швырнуть потяжелее, в то время как расход кефира не помогает ни взрастить, ни искоренить, ни в должной мере законспирировать лес. Я боюсь, что мы не поняли даже, что мы, собственно, хотим, а нервы, в конце концов, тоже надлежит тренировать, как тренируют способность к восприятию, и разум не краснеет и не мучается угрызениями совести, потому что вопрос из научного, из правильно поставленного становится моральным. Он лживый, он скользкий, он непостоянный и притворяется. Но кто-то же должен раздражать, и не рассказывать легенды, а тщательно готовиться к пробному выходу. Завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились. Двадцать два ноль-ноль — радиологическая тревога и землетрясение, восемнадцать ноль-ноль — совещание свободного от дежурства персонала у меня, как это говорится, на ковре, двадцать четыре ноль-ноль — общая эвакуация…»

В трубке послышался звук как от льющейся воды. Потом все стихло, и Перец заметил, что Домарощинер смотрит на него строгими обвиняющими глазами.

— Что он говорит? — спросил Перец шепотом. — Я ничего не понимаю.

— И не странно, — сказал Домарощинер ледяным тоном. — Вы взяли не свою трубку. — Он опустил глаза, записал что-то в блокноте и продолжал: — Это, между прочим, абсолютно недопустимое нарушение правил. Я настаиваю, чтобы вы положили трубку и ушли. Иначе я вызову официальных лиц.

— Хорошо, — сказал Перец. — Я уйду. Но где моя трубка? Это — не моя. А где тогда моя?

Домарощинер не ответил. Глаза его вновь закрылись, и он снова прижал трубку к уху. До Переца донеслось кваканье.

— Я спрашиваю, где моя трубка? — крикнул Перец. Теперь он больше ничего не слышал. Был шорох, было потрескивание, а потом раздались частые гудки отбоя. Тогда он бросил трубку и выбежал в коридор. Он распахивал двери кабинетов и всюду видел знакомых и незнакомых сотрудников. Одни сидели и стояли, застывши в полной неподвижности, похожие на восковые фигуры со стеклянными глазами; другие расхаживали из угла в угол, переступая через телефонный провод, тянущийся за ними; третьи лихорадочно писали в толстых тетрадях, на клочках бумаги, на полях газет. И каждый плотно прижимал к уху трубку, словно боясь пропустить хотя бы слово. Свободных телефонов не было. Перец попытался отобрать трубку у одного из застывших в трансе сотрудников, молодого парня в рабочем комбинезоне, но тот сейчас же ожил, завизжал и принялся лягаться, и тогда остальные зашикали, замахали руками, а кто-то истерически крикнул: «Безобразие! Вызовите стражу!»

— Где моя трубка? — кричал Перец. — Я такой же человек, как и вы, я имею право знать! Дайте мне послушать! Дайте мне мою трубку!

Его выталкивали и запирали за ним двери. Он добрался до самого последнего этажа, где у входа на чердак, рядом с механическим отделением никогда не работающего лифта, сидели за столиком два дежурных механика и играли в крестики-нолики. Перец, задыхаясь, прислонился к стене. Механики поглядели на него, рассеянно ему улыбнулись и снова склонились над бумагой.

— У вас тоже нет своей трубки? — спросил Перец.

— Есть, — сказал один из механиков. — Как не быть? До этого мы еще не дошли.

— А что же вы не слушаете?

— А ничего не слышно, чего слушать-то.

— Почему не слышно?

— А мы провода перерезали.

Перец скомканным платком обтер лицо и шею, подождал, пока один механик выиграл у другого, и спустился вниз. В коридорах стало шумно. Двери распахивались, сотрудники выходили покурить. Жужжали оживленные, возбужденные, взволнованные голоса. «Я же вам достоверно говорю: эскимо изобрели эскимосы. Что? Но, в конце концов, я просто читал в одной книге… А вы сами не слышите созвучия? Эс-ки-мос. Эс-ки-мо. Что?..» — «Я смотрел в каталоге Ивера: сто пятьдесят тысяч франков, и это — в пятьдесят шестом году. Представляете, сколько она стоит сегодня?» — «Странные сигареты какие-то. Говорят, теперь табак в сигареты не кладут вовсе, а берут специальную бумагу, крошат ее и пропитывают никотином…» — «От томатов тоже бывает рак. От томатов, от трубки, от яиц, от шелковых перчаток…» — «Как вы спали? Представьте, я всю ночь не мог заснуть: непрерывно грохает эта баба. Слышите? И вот так всю ночь… Здравствуйте, Перец! А говорят, вы уехали… Молодец, что остались…» — «Нашли наконец вора, помните, вещи все пропадали? Так это оказался дискобол из парка, знаете, статуя у фонтана. У него еще на ноге написано неприлично…» — «Перчик, будь другом, дай пять монет до получки, до завтра то есть…» — «А он за нею не ухаживал. Она сама на него бросалась. Прямо при муже. Вот вы не верите, а я своими глазами видел…»

Перец спустился в свой кабинет, поздоровался с Кимом и умылся. Ким не работал. Он сидел, спокойно положив руки на стол, и смотрел на кафельную стену. Перец снял чехол с «мерседеса», воткнул вилку и выжидательно оглянулся на Кима.

— Нельзя сегодня работать, — сказал Ким. — Какой-то болван ходит и все чинит. Сижу и не знаю, что теперь делать.

Тут Перец заметил на своем столе записку. «Перецу. Доводим до сведения, что ваш телефон находится в кабинете 771». Подпись неразборчива. Перец вздохнул.

— Нечего тебе вздыхать, — сказал Ким. — Надо было на работу вовремя приходить.

— Я же не знал, — сказал Перец. — Я уехать сегодня намеревался.

— Сам виноват, — сухо сказал Ким.

— Все равно я немножко послушал. И ты знаешь, Ким, я ничего не понял. Почему это так?

— Немножко послушал! Ты дурак. Ты идиот. Ты упустил такой случай, что мне даже говорить с тобой не хочется. Придется теперь знакомить тебя с директором. Просто из жалости.

— Познакомь, — сказал Перец. — Ты знаешь, — продолжал он, — иногда мне казалось, будто я что-то улавливаю, какие-то обрывки мыслей, по-моему, очень интересных, но вот я сейчас пытаюсь вспомнить — и ничего…

— А чей это был телефон?

— Я не знаю. Это там, где Домарощинер сидит.

— А-а… Правильно, она сейчас рожает. Не везет Домарощинеру. Возьмет новую сотрудницу, поработает она у него полгода — и рожать… Да, Перчик, тебе женская трубка попалась. Так что я даже не знаю, чем тебе помочь… Подряд вообще никто не слушает, женщины, наверное, тоже. Ведь директор обращается ко всем сразу, но одновременно и к каждому в отдельности. Понимаешь?

— Боюсь, что…

— Я, например, рекомендую слушать так. Разверни речь директора в одну строку, избегая знаков препинания, и выбирай слова случайным образом, мысленно бросая кости домино. Тогда, если половинки костей совпадают, слово принимается и выписывается на отдельном листе. Если не совпадает — слово временно отвергается, но остается в строке. Там есть еще некоторые тонкости, связанные с частотой гласных и согласных, но это уже эффект второго порядка. Понимаешь?

— Нет, — сказал Перец. — То есть да. Жалко, я не знал этого метода. И что же он сказал сегодня?

— Это не единственный метод. Есть еще, например, метод спирали с переменным ходом. Этот метод довольно груб, но если речь идет только о хозяйственно-экономических проблемах, то он очень удобен, потому что прост. Есть метод Стивенсон-заде, но он требует электронных приспособлений… Так что, пожалуй, лучше всего метод домино, а в частных случаях, когда словарь специализирован и ограничен, — метод спирали.

— Спасибо, — сказал Перец. — А о чем сегодня директор говорил?

— Что значит — о чем?

— Как?.. Ну… О чем? Ну, что он… сказал?

— Кому?

— Кому? Ну, тебе, например.

— К сожалению, я не могу тебе об этом рассказать. Это закрытый материал, а ты все-таки, Перчик, внештатный сотрудник. Так что не сердись.

— Нет, я не сержусь, — сказал Перец. — Я только хотел бы узнать… Он говорил что-то о лесе, о свободе воли… Я давеча камешки бросал в обрыв, ну просто так, без всякой цели, так он и об этом что-то говорил.

— Ты мне этого не рассказывай, — сказал Ким нервно. — Это меня не касается. Да и тебя тоже, раз это была не твоя трубка.

— Ну подожди, о лесе он что-нибудь говорил?

Ким пожал плечами.

— Ну, естественно. Он никогда ни о чем другом и не говорит. И давай прекратим этот разговор. Расскажи лучше, как ты уезжал.

Перец рассказал.

— Зря ты его все время обыгрываешь, — сказал Ким задумчиво.

— Я ничего не могу сделать. Я ведь довольно сильный шахматист, а он просто любитель… И потом, он играет как-то странно…

— Это неважно. Я бы на твоем месте как следует подумал. Вообще ты мне что-то не нравишься последнее время… Доносы на тебя пишут… Знаешь что, завтра я устрою тебе свидание с директором. Пойди к нему и решительно объяснись. Я думаю, он тебя отпустит. Ты только подчеркни, что ты лингвист, филолог, что попал сюда случайно, упомяни как бы между прочим, что очень хотел попасть в лес, а теперь раздумал, потому что считаешь себя некомпетентным.

— Хорошо.

Они помолчали. Перец представил себя лицом к лицу с директором и ужаснулся. Метод домино, подумал он. Стивенсон-заде…

— И главное, не стесняйся плакать, — сказал Ким. — Он это любит.

Перец вскочил и взволнованно прошелся по комнате.

— Господи, — сказал он. — Хоть бы знать, как он выглядит. Какой он.

— Какой? Невысокого роста, рыжеватый…

— Домарощинер говорил, что он настоящий великан.

— Домарощинер дурак. Хвастун и враль. Директор — рыжеватый человек, полный, на правой щеке небольшой шрам. Когда ходит, слегка косолапит, как моряк. Собственно, он и есть бывший моряк.

— А Тузик говорил, что он сухопарый и носит длинные волосы, потому что у него нет одного уха.

— Это какой еще Тузик?

— Шофер, я же тебе рассказывал.

Ким желчно засмеялся.

— Откуда шофер Тузик может все это знать? Слушай, Перчик, нельзя же быть таким доверчивым.

— Тузик говорит, что был у него шофером и несколько раз его видел.

— Ну и что? Врет, вероятно. Я был у него личным секретарем, а не видел его ни разу.

— Кого?

— Директора. Я долго был у него секретарем, пока не защитил диссертацию.

— И ни разу его не видел?

— Ну естественно! Ты воображаешь, это так просто?

— Подожди, откуда же ты знаешь, что он рыжеватый и так далее?

Ким покачал головой.

— Перчик, — сказал он ласково. — Душенька. Никто никогда не видел атома водорода, но все знают, что у него есть одна электронная оболочка определенных характеристик и ядро, состоящее в простейшем случае из одного протона.

— Это верно, — сказал Перец вяло. Он чувствовал, что устал. — Значит, я его завтра увижу.

— Нет уж, ты спроси меня что-нибудь полегче, — сказал Ким. — Я устрою тебе встречу, это я тебе гарантирую. А уж что ты там увидишь и кого — этого я не знаю. И что ты там услышишь, я тоже не знаю. Ты ведь меня не спрашиваешь, отпустит тебя директор или нет, и правильно делаешь, что не спрашиваешь. Я ведь не могу этого знать, верно?

— Но это все-таки разные вещи, — сказал Перец.

— Одинаковые, Перчик, — сказал Ким. — Уверяю тебя, одинаковые.

— Я, наверное, кажусь очень бестолковым, — печально сказал Перец.

— Есть немножко.

— Просто я сегодня плохо спал.

— Нет, ты просто непрактичен. А почему ты, собственно, плохо спал?

Перец рассказал. И испугался. Добродушное лицо Кима вдруг налилось кровью, волосы взъерошились. Он зарычал, схватил трубку, бешено набрал номер и рявкнул:

— Комендант? Что это значит, комендант? Как вы смели выселить Переца? Ма-ал-чать! Я вас не спрашиваю, что там у него кончилось, я вас спрашиваю, как вы смели выселить Переца! Что? Ма-ал-чать! Вы не смеете! Что? Болтовня, вздор! Ма-ал-чать! Я вас растопчу! Вместе с вашим Клавдий-Октавианом! Вы у меня сортиры чистить будете, вы у меня в лес поедете в двадцать четыре часа, в шестьдесят минут! Что? Так… Так… Что? Так… Правильно. Это другой разговор. И белье самое лучшее… Это уж ваше дело, хоть на улице… Что? Хорошо. Ладно. Ладно. Благодарю вас. Извините за беспокойство… Ну, естественно… Большое спасибо. До свидания.

Он положил трубку.

— Все в порядке, — сказал он. — Прекрасный все-таки человек. Иди отдыхай. Будешь жить у него в квартире, а он с семьей переселится в твой бывший номер, иначе он, к сожалению, не может… И не спорь, умоляю тебя, не спорь, это совершенно не наше с тобой дело. Он сам так решил. Иди, иди, это приказ. Я тебе еще позвоню насчет директора…

Перец, пошатываясь, вышел на улицу, постоял немного, щурясь от солнца, и отправился в парк искать свой чемодан. Он не сразу нашел его, потому что чемодан крепко держал в мускулистой гипсовой руке прифонтанный вор-дискобол с неприличной надписью на левом бедре. Собственно, надпись не была такой уж неприличной. Там было химическим карандашом написано: «ДЕВОЧКИ, БОЙТЕСЬ СИФИЛИСА».

Глава четвертая

Кандид

Кандид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До Выселок было километров десять, дорога была знакомая, хорошо утоптанная, вся в голых проплешинах от пролитого травобоя. Считалось, что ходить по ней безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные болота, из ржавой пахучей воды торчали сгнившие черные ветки, округлыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигантских болотных поганок, иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно: из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как паутина, нитей — жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, скрывала все, кроме звуков и запахов. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало, раздавался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и снова наступала тишина, а минуту спустя сквозь зеленую завесу на дорогу выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки — не принимает их болото. На всякий случай Кандид выломал себе дубину, не потому что боялся мертвяков, мертвяки мужчине, как правило, не опасны, но о лесной и болотной жизни ходили всякие слухи, и некоторые из них при всей своей нелепости могли оказаться верными.

Он отошел от деревни шагов на пятьсот, когда его нагнала Нава. Он остановился.

— Ты почему без меня ушел? — спросила Нава немного запыхавшимся голосом. — Я же тебе говорила, что я с тобой уйду, я одна в этой деревне не останусь, нечего мне одной там делать, там

меня никто и не любит, а ты мой муж, ты должен меня взять с собой, это еще ничего не значит, что у нас нет детей, все равно ты мой муж, а я твоя жена, а дети у нас с тобой еще появятся… Просто я честно тебе скажу, я пока еще не хочу детей, непонятно мне, зачем они и что мы с ними будем делать… Мало ли что там староста говорит или этот твой старец, у нас в деревне совсем не так было: кто хочет, у того дети, а кто не хочет, у того их и нет…

— А ну вернись домой, — сказал Кандид. — Откуда это ты взяла, что я ухожу? Я же на Выселки, я же к обеду буду дома…

— Вот и хорошо, вот я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся, обед у меня со вчерашнего дня готов, я его так спрятала, что его даже этот твой старик не найдет…

Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел, ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску, и злость, и бессилие, накопленное за сколько-то там лет. На ворах. Или на мертвяках — какая разница? Пусть девчонка идет. Тоже мне жена, детей она не хочет. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился: коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде.

Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала Кандида за руку обеими руками и повисала на нем, очень довольная. Она говорила об обеде, который так ловко спрятала от старца, о том, что обед могли бы съесть дикие муравьи, если бы она не сделала так, что муравьям до него в жизни не добраться, о том, что разбудила ее какая-то вредная муха и что, когда она вчера засыпала, он, Молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова, и откуда это ты такие слова знаешь, Молчун, просто удивительно, никто у нас в деревне таких слов не знает, один ты знаешь, и всегда знал, даже когда совсем больной был, и то знал…

Кандид слушал и не слушал, привычный нудный гул отдавался у него в мозгу, он шагал и тупо, многословно думал о том, почему он ни о чем не может думать, наверное, это от бесконечных прививок, которыми только и занимаются в деревне, когда не занимаются болтовней, а может, еще от чего-нибудь… Может быть, это сказывается весь дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ жизни, который он ведет с тех незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекосился, поломал винты и камнем рухнул в болота… Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины, подумал он. Выбросило меня тогда из кабины, в тысячный раз подумал он. Ударило обо что-то головой, так я больше и не оправился… А если б не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной, так что это еще хорошо, что меня выбросило… Его вдруг осенило, что все это — умозаключения, и он обрадовался; ему казалось, что он давно потерял способность к умозаключениям и может твердить только одно: послезавтра, послезавтра…

Он глянул на Наву. Девчонка висела у него на левой руке, смотрела снизу вверх и азартно рассказывала:

— Тут все они сбились в кучу, и стало страшно жарко, ты знаешь ведь, какие они горячие, а луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала подталкивать меня тихонько, и я проползла на четвереньках у всех под ногами, и мамы уж больше мне видеть не привелось…

— Нава, — сказал Кандид, — опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже двести раз рассказывала.

— Ну так и что же? — сказала Нава, удивившись. — Ты какой-то странный, Молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб, ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном… — Она вдруг оживилась. — А знаешь, Молчун, это даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб, мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел…

Кандид опять отвлекся. Медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли, кто-то сопел и вздыхал в воде, с тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки, дорога под ногами становилась то мягкой от высокой травы, то жесткой от щебня и крошеного камня. Желтые, серые, зеленые пятна — взгляду не за что было зацепиться, и нечего было запоминать. Потом тропа круто свернула влево, Кандид прошел еще несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полуслове.

У дороги, головой в болоте, лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жары траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно: примятые пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал, а дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот, и что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.

— Это не наши, — сказала она очень тихо. — Наши так не умеют. Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками размахивает… И на Выселках так тоже не умеют… Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вернемся… И чего ты меня на Выселки повел? Что я, Выселок не видела, что ли?

Кандид разозлился. Да что же это такое? Сто раз он ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить — даже не послезавтра, а завтра, наконец-то! — эта единственная безопасная дорога становится опасной… В Город-то можно пройти только через Выселки. Если в Город вообще можно пройти, если Город вообще существует, то дорога к нему ведет через Выселки…

Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастать, поворачивают от греха назад, в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез, по темной воде побежала и погасла рябь.

— Нава, — сказал Кандид, — иди в деревню.

— Как же я пойду в деревню, — рассудительно сказала Нава, — если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню…

— Перестань болтать, — сказал Кандид. — Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем там не разговаривай.

— А ты?

— Я мужчина, — сказал Кандид, — мне никто ничего не сделает.

— Еще как сделают, — возразила Нава. — Я тебе говорю: вдруг это уроды? Им ведь все равно, мужчина, женщина, мертвяк, они тебя самого уродом сделают, будешь тут ходить, страшный, а ночью будешь к дереву прирастать… Как же я пойду одна, когда они, может быть, там, сзади?

— Никаких уродов на свете нет, — не очень уверенно сказал Кандид. — Вранье это все…

Он посмотрел назад. Там тоже был поворот, и что было за этим поворотом, угадать он тоже не мог. Нава что-то говорила ему, много, быстро и шепотом, отчего становилось особенно неприятно. Он взял дубину поудобнее.

— Хорошо. Иди со мной. Только держись рядом и, если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи, закрой рот и молчи до самых Выселок. Пошли.

Молчать она, конечно, не умела. Она действительно держалась рядом, не забегала больше вперед и не отставала, но все время бормотала что-то себе под нос: сначала что-то про уродов, потом про погреб, потом про Колченога, как она с ним тут ходила и он ей сделал дудку… Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и Кандид уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота, им навстречу молча вышли и остановились люди.

Ну вот, устало подумал Кандид. Как мне не везет. Мне же все время не везет. Он покосился на Наву. Нава трясла головой, лицо ее сморщилось.

— Ты меня им не отдавай, Молчун, — бормотала она, — я не хочу с ними. Я хочу с тобой, не отдавай меня…

Он посмотрел на людей. Их было семеро — все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди, и одеты они были не по-здешнему, совсем в другие растения. Это были воры.

— Ну так что же вы встали? — глубоким раскатистым голосом сказал вожак. — Подходите, мы дурного не сделаем… Если бы вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой, да никакого разговора вовсе бы и не было, приняли бы мы вас на сучки да на палочки, вот и весь был бы у нас с вами разговор… Куда направляетесь? На Выселки, я понимаю? Это можно, это пожалуйста. Ты, папаша, ты себе иди. А дочку, конечно, нам оставь. Да не жалей, ей с нами лучше будет…

— Нет, — сказала Нава, — я к ним не хочу. Ты, Молчун, так и знай, я к ним не хочу, это же воры…

Воры засмеялись — без всякой злобы, привычно.

— А может быть, нас обоих пропустите? — спросил Кандид.

— Нет, — сказал вожак, — обоих нельзя. Тут же кругом сейчас мертвяки, пропадет твоя дочка, подругой славной станет или еще какой-нибудь дрянью, а это нам ни к чему, да и тебе, папаша, ни к чему, сам подумай, если ты человек, а не мертвяк, а на мертвяка ты вроде не похож, хотя, конечно, и человек ты на вид странный…

— Она же еще девочка, — сказал Кандид, — зачем вам ее обижать?

Вожак удивился:

— Почему же обязательно обижать? Не век же она девочкой будет, придет время — станет женщиной, не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной…

— Это он все врет, — сказала Нава, — ты ему, Молчун, не верь, ты что-нибудь делай скорее, раз сюда меня привел, а то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали, с тех пор ее так никто и не видел, не хочу я к ним, я лучше этой славной подругой стану… Смотри, какие они дикие да тощие, у них и есть-то, наверное, нечего…

Кандид беспомощно огляделся, а потом в голову ему пришла мысль, показавшаяся ему очень удачной.

— Слушайте, люди, — сказал он просительно, — возьмите нас обоих.

Воры не спеша приблизились. Вожак внимательно оглядел Кандида с головы до ног.

— Нет, — сказал он. — Зачем ты нам такой нужен? Вы, деревенские, никуда не годитесь, отчаянности в вас нет, и живете вы непонятно зачем, вас приходи и голыми руками бери. Не нужен ты нам, папаша, говоришь ты как-то не так, как все, неизвестно, что ты за человек, иди ты себе на Выселки, а дочку нам оставь.

Кандид глубоко вздохнул, взял дубину обеими руками и сказал Наве негромко:

— Ну, Нава, беги! Беги, не оглядывайся, я их задержу.

Глупо, подумал он. Надо же, до чего глупо. Он вспомнил мертвяка, лежавшего головой в темной воде, похожего на студень, и поднял дубину над головой.

— Эй-эй! — закричал вожак.

Все семеро, толкаясь и оскальзываясь, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Кандид еще слышал дробный стук Навиных пяток, а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно, но очень скоро страх прошел, потому что неожиданно выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Кандид видел, как остальные, угрожающе и бессмысленно мотая дубинами, задевают друг друга, шатаются от собственных богатырских размахов и часто останавливаются, чтобы поплевать на ладони. Один вдруг отчаянно завопил: «Тону!» — и с шумом обрушился в болото, двое сразу бросили дубины и принялись его тащить, но вожак наседал, крякая и притопывая, пока Кандид случайно не угодил ему по коленной чашечке. Вожак уронил дубину, зашипел и присел на корточки. Кандид отскочил.

Двое воров тащили тонущего из болота. Тот увяз основательно, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и озабоченно рассматривал ушиб. Остальные трое воров, подняв дубины, толпились у него за спиной и тоже рассматривали ушиб через его голову.

— Дурак ты, папаша, — сказал вожак укоризненно. — Разве же так можно, долбня ты деревенская. И откуда ты только такой взялся… Выгоды своей ты не понимаешь, дерево ты стоеросовое, твердое…

Больше ждать Кандид не стал. Он повернулся и со всех ног пустился бежать за Навой. Воры кричали ему вслед сердито и насмешливо, вожак гукал и взревывал: «А держи его! Держи!» Они за ним не гнались, и Кандиду это не понравилось. Он испытывал разочарование и досаду и на бегу

пытался сообразить, как же эти неуклюжие, неповоротливые и незлые люди могут наводить ужас на деревни, да еще каким-то образом уничтожать мертвяков — бойцов ловких и беспощадных.

Скоро он увидел Наву: девчонка скакала шагах в тридцати впереди, твердо ударяя в землю босыми пятками. Он увидел, как она скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила — уже ему навстречу, — замерла на мгновение и пустилась вбок, прямо через болото, прыгая с коряги на корягу, только брызги летели. У Кандида замерло сердце.

— Стой! — заорал он, задыхаясь. — С ума сошла! Стой!

Нава тотчас же остановилась и, ухватившись за свисающую лиану, повернулась к нему. А он увидел, как из-за поворота ему навстречу вышли еще трое воров и тоже остановились, глядя то на него, то на Наву.

— Молчун! — пронзительно закричала Нава. — Ты их бей и сюда беги! Ты здесь не утонешь, не бойся! Бей их, бей! Палкой бей! Гу-гу-гу! О-го-го их!

— Ты вот что, — сказал один из воров заботливо. — Ты там держись, ты там не кричи, а держись покрепче, а то свалишься, тащи тебя потом…

Сзади тяжело затопали и тоже закричали: «Гу-гу-гу!» Трое впереди ждали. Тогда Кандид, ухватив дубину за концы и выставив ее перед собой поперек груди, с разбегу налетел на них, повалил всех троих и упал сам. Он сильно ушибся об кого-то, но сейчас же вскочил. Перед глазами у него все плыло. Кто-то снова испуганно вопил: «Тону!» Кто-то сунулся бородатым лицом, и Кандид ударил его дубиной, не глядя. Дубина переломилась. Кандид бросил обломок и прыгнул в болото.

Коряга ушла из-под ног, он едва не сорвался, но сейчас же перескочил на следующую и пошел грузно прыгать с коряги на корягу, разбрасывая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу. Позади гудели сердитые голоса: «Что же вы, руки дырявые, корявые?» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Упустили мы девчонку, пропадет девчонка теперь…» — «Да обезумел же человек, дерется!» — «Одежду на мне порвал, надо же, какая одежда была, цены ей не было, одежде моей, а он порвал, и даже это не он мне порвал, а ты мне ее порвал…» — «Хватит вам разговоры разговаривать, в самом деле; догонять нужно, а не разговоры разговаривать… Видите, они бегут, а вы разговоры разговариваете!» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Ногу он мне подбил, видите? Коленку мне повредил, и как он мне ее повредил, не понимаю, только это я размахнулся…» — «А Семиглазый где? Ребята, а Семиглазый-то тонет!» — «Тонет! И верно, тонет… Семиглазый тонет, а они разговоры разговаривают!»

Кандид остановился возле Навы, тоже ухватился за лианы и, тяжело дыша, слушал и смотрел, как странные люди, сгрудившись на дороге, размахивая руками, тащат из болота за ногу и за голову своего Семиглазого. Слышались бульканье и храп. Впрочем, двое воров, ощупывая трясину дубинками, уже шли к Кандиду по колено в черной жиже. Коряги они обходили. И опять все наврали, подумал Кандид. Болото вброд можно перейти, а говорили, будто другого пути, кроме дороги, нет. Ворами пугали, тоже мне, нашли кем пугать…

Нава потянула его за руку.

— Пошли, Молчун, — сказала она. — Что ты стоишь? Пошли скорей… Или, может, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку подходящую найду, ты тогда вот этих двух побей, а другие,

наверное, испугаются. Хотя если они не испугаются, то они тебя, я думаю, одолеют, потому что ты ведь один, а их… раз… два, три… четыре…

— А куда идти? — спросил Кандид. — На Выселки мы попадем?

— Попадем, наверное, — сказала Нава. — Я не знаю, почему нам на Выселки не попасть…

— Тогда иди вперед, — сказал Кандид. Он уже немного отдышался. — Показывай, куда идти.

Нава легко запрыгала в лес, в чащу, в зеленое марево зарослей.

— Я вообще-то не знаю, куда нам идти и как, — говорила она на бегу. — Но я тут уже один раз была, а может быть, даже не один, а больше. Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было… Или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал, говорить не мог, смотрел на всех как рыба, потом тебя мне отдали, я тебя и выходила, да только ты не помнишь, наверное, ничего…

Кандид прыгал за нею, стараясь держать правильное дыхание и ступать след в след. Время от времени он оглядывался. Воры были недалеко.

— А с Колченогом мы сюда ходили, — продолжала Нава, — когда у Кулака воры жену увели, Колченогову дочку. Он тогда все время меня с собой брал, обменять хотел, что ли, а может быть, хотел взять себе вместо дочки, вот и ходил со мной в лес, потому что очень без дочки убивался…

Лианы липли к рукам, хлестали по лицу, омертвевшие клубки их цеплялись за одежду и путались в ногах. Сверху сыпался мусор и насекомые, иногда какие-то тяжелые бесформенные массы оседали, проваливались вниз в путанице зелени и раскачивались над самой головой. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья — не то грибы, не то плоды, не то гнезда какой-то мерзости.

— Колченог говорил, что тут где-то одна деревня есть… — Нава говорила на бегу легко, как будто и не бежала вовсе, а валялась на своей постели: сразу было видно, что она не здешняя, здешние бегать не умели. — Не наша деревня и не Выселки, какая-то другая, название мне Колченог говорил, да я забыла, все-таки это давно было, тебя еще не было… Или нет, ты уже был, только ничего не соображал, и еще тебя мне не отдали… А ты, когда бежишь, ты ртом дыши, ты зря носом дышишь, и разговаривать еще хорошо при этом, а то ты так скоро запыхаешься, тут еще долго бежать, мы еще мимо ос не пробегали, вот где нам быстро бежать придется, хотя, может быть, с тех пор осы оттуда ушли… Это той самой деревни осы были, а в той деревне, Колченог говорит, вроде бы людей уже давно нет, там уже Одержание, говорит, произошло, так что людей совсем не осталось… Нет, Молчун, это я вру, это он про другую деревню говорил…

Кандид перешел на второе дыхание, бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще, в самых зарослях. Так глубоко Кандид забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев, мертвяк понес галопом, он был раскален, как кипящий чайник, и Кандид в конце концов потерял сознание от боли и сорвался с него в грязь. Он долго потом мучился ожогами на ладонях и на груди…

Становилось все темнее. Неба уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды, появились могучие заросли красного и белого моха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил, ступать по нему было приятно.

— Давай… отдохнем… — просипел Кандид.

— Нет, что ты, Молчун, — сказала Нава. — Здесь нам отдыхать нельзя. От этого моха надо поскорее подальше, это мох опасный. Колченог говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука, ты на нем заснешь и больше уже никогда не проснешься, вот какой это мох, пусть на нем воры отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то было бы хорошо…

Она посмотрела на Кандида и все-таки перешла на шаг. Кандид дотащился до ближайшего дерева, привалился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Ему очень хотелось сесть, упасть, но он боялся. Он твердил про себя: ведь наверняка же врут, и про мох врут. Но все-таки он боялся. Сердце билось как бешеное, ног словно бы и не было вовсе, а легкие лопались и болезненно растекались в груди при каждом вдохе, и весь мир был скользкий и соленый от пота.

— А если они нас догонят? — услыхал он словно сквозь вату голос Навы. — Что мы будем делать, Молчун, когда они нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годный стал, ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?

Он хотел сказать: смогу, но только пошевелил губами. Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся лечь в мох. Все-таки это был лес, что бы там они ни врали, это был лес, это-то он помнил хорошо, этого он не забывал никогда, даже когда забывал все остальное.

— Вот у тебя даже и палки теперь нет, — говорила Нава. — Поискать, что ли, тебе палку, Молчун? Поискать?

— Нет, — пробормотал он. — Не надо… Тяжелая…

Он открыл глаза и прислушался. Воры были близко, слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях, и в этом топоте не чувствовалось никакой бойкости — ворам тоже было тяжко.

— Пошли дальше, — сказал Кандид.

Они миновали полосу белого опасного моха, потом полосу красного опасного моха, снова началось мокрое болото с неподвижной густой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках.

— Ты, Молчун, шлепай посильнее, — деловито говорила Нава, — а то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь, ты не думай, что раз тебе прививку сделали, так теперь уж и не присосется, еще как присосется. Потом оно, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче…

Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. Появилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кандид оглянулся и увидел воров. Почему-то они остановились. Почему-то они стояли по колено в болоте, опираясь на дубины, и смотрели им вслед. Выдохлись, подумал Кандид, тоже выдохлись. Один из воров поднял руку, сделал приглашающий жест и крикнул:

— Давайте спускайтесь, чего же вы?

Кандид отвернулся и пошел за Навой. После трясины идти по твердой земле казалось совсем легко, даже в гору. Воры что-то кричали — в два, а потом в три голоса. Кандид оглянулся в

последний раз. Воры по-прежнему стояли в болоте, в грязи, полной пиявок, даже не вышли на сухое место. Увидев, что он оглянулся, они отчаянно замахали руками и наперебой закричали снова; понять было трудно.

— Назад! — кричали они, кажется. — Наза-ад!.. Не тро-онем!.. Пропадете, дураки-и-и!..

Не так просто, подумал Кандид со злорадством, сами вы дураки, так я вам и поверил. Хватит с меня — верить… Нава уже скрылась за деревьями, и он поспешил за нею.

— Назад идите-е-е!.. Отпусти-и-им!.. — ревел вожак.

Не очень-то они выдохлись, если так орут, мельком подумал Кандид и сразу стал думать, что теперь надо бы отойти подальше, а потом сесть отдохнуть и поискать на себе пиявок и клещей.

Глава пятая

Перец

Перец явился в приемную директора точно в десять часов утра. В приемной уже была очередь, человек двадцать. Переца поставили четвертым. Он сел в кресло между Беатрисой Вах, сотрудницей группы Помощи местному населению, и сумрачным сотрудником группы Инженерного проникновения. Сумрачного сотрудника, судя по опознавательному жетону на груди и по надписи на белой картонной маске, следовало называть Брандскугелем. Приемная была окрашена в бледно-розовый цвет, на одной стене висела табличка: «НЕ КУРИТЬ, НЕ СОРИТЬ, НЕ ШУМЕТЬ», на другой — большая картина, изображающая подвиг лесопроходца Селивана: Селиван с подъятыми руками на глазах у потрясенных товарищей превращался в прыгающее дерево. Розовые шторы на окнах были глухо задернуты, под потолком сияла гигантская люстра. Кроме входной двери, на которой было написано «ВЫХОД», в приемной имелась еще одна дверь, огромная, обитая желтой кожей, с надписью «ВЫХОДА НЕТ». Эта надпись была выполнена светящимися красками и смотрелась как угрюмое предупреждение. Под надписью стоял стол секретарши с четырьмя разноцветными телефонами и электрической пишущей машинкой. Секретарша, полная пожилая женщина в пенсне, надменно изучала «Учебник атомной физики». Посетители переговаривались сдержанными голосами. Многие явно нервничали и судорожно перелистывали старые иллюстрированные журналы. Все это чрезвычайно напоминало очередь к зубному врачу, и Перец снова ощутил неприятный холодок, дрожь в челюстях и желание немедленно уйти куда-нибудь.

— Они даже не ленивы, — сказала Беатриса Вах, чуть повернув красивую голову в сторону Переца. — Однако они не выносят систематической работы. Как вы, например, объясните ту необыкновенную легкость, с которой они покидают обжитые места?

— Это вы мне? — робко спросил Перец. Он понятия не имел, как объяснить необыкновенную легкость.

— Нет. Я — моншеру Брандскугелю.

Моншер Брандскугель поправил отклеивающийся левый ус и задушенным голосом промямлил:

— Я не знаю.

— Вот и мы тоже не знаем, — сказала Беатриса горько. — Стоит нашим отрядам появиться вблизи от деревни, как они бросают дома, все имущество и уходят. Создается впечатление, что они в нас совершенно не заинтересованы. Им ничего от нас не нужно. Как вы полагаете, это так и есть?

Некоторое время моншер Брандскугель молчал, словно раздумывая, и глядел на Беатрису странными крестообразными бойницами своей маски, а потом произнес с прежней интонацией:

— Я не знаю.

— Очень неудачно, — продолжала Беатриса, — что наша группа комплектуется исключительно из женщин. Я понимаю, в этом есть глубокий смысл, но зачастую так не хватает мужской твердости, жесткости, я бы сказала — целенаправленности. К сожалению, женщины склонны разбрасываться, вы, наверное, замечали это.

— Я не знаю, — сказал Брандскугель, и усы у него вдруг отвалились и мягко спланировали на пол. Он подобрал их, внимательно осмотрел, приподняв край маски, и, деловито на них поплевав, посадил на место.

На столе секретарши мелодично звякнул колокольчик. Она отложила учебник, проглядела список, элегантно придерживая пенсне, и объявила:

— Профессор Какаду, вас просят.

Профессор Какаду уронил иллюстрированный журнал, вскочил, опять сел, огляделся, бледнея на глазах, потом, закусив губу, с совершенно искаженным лицом оттолкнулся от кресла и исчез за дверью с надписью «ВЫХОДА НЕТ». Несколько секунд в приемной стояла болезненная тишина. Потом снова загудели голоса и зашелестели страницы.

— Мы никак не можем найти, — сказала Беатриса, — чем их заинтересовать, увлечь. Мы строили им удобные сухие жилища на сваях. Они забивают их торфом и заселяют какими-то насекомыми. Мы пытались предложить им вкусную пищу вместо той кислой мерзости, которую они поедают. Бесполезно. Мы пытались одеть их по-человечески. Один умер, двое заболели. Но мы продолжаем свои опыты. Вчера мы разбросали по лесу грузовик зеркал и позолоченных пуговиц… Кино им не интересно, музыка тоже. Бессмертные творения вызывают у них что-то вроде хихиканья… Нет, начинать нужно с детей. Я, например, предлагаю отлавливать их детей и организовывать специальные школы. К сожалению, это сопряжено с техническими трудностями, человеческими руками их не возьмешь, здесь понадобятся специальные машины… Впрочем, вы знаете это не хуже меня.

— Я не знаю, — сказал тоскливо моншер Брандскугель.

Снова звякнул колокольчик, и секретарша сказала:

— Беатриса, теперь вы. Прошу вас.

Беатриса засуетилась. Она бросилась было к двери, но остановилась, растерянно оглядываясь. Вернулась, заглянула под кресло, шепча: «Где же она? Где?» — огромными глазами обвела приемную, дернула себя за волосы, громко закричала: «Где же она?!» — а потом вдруг схватила Переца за пиджак и вывалила из кресла на пол. Под Перецом оказалась коричневая папка, и

Беатриса схватила ее и несколько секунд стояла с закрытыми глазами и безмерно счастливым лицом, прижимая папку к груди, а затем медленно направилась к двери, обитой желтой кожей, и скрылась за нею. При мертвом молчании Перец поднялся и, стараясь ни на кого не глядеть, почистил брюки. Впрочем, на него никто не обращал внимания; все смотрели на желтую дверь.

Что же я ему скажу? — подумал Перец. Скажу, что я филолог и не могу быть полезен Управлению, отпустите меня, я уеду и больше никогда не вернусь, честное слово. А зачем же вы приехали сюда? Я всегда очень интересовался лесом, но ведь в лес меня не пускают. И вообще, я попал сюда совершенно случайно, ведь я филолог. Филологам, литераторам, философам нечего делать в Управлении. Так что правильно меня не пускают, я это сознаю, я с этим согласен… Не могу я быть ни в Управлении, откуда испражняются на лес, ни в лесу, где отлавливают детей машинами. Мне бы отсюда уехать и заняться чем-нибудь попроще. Я знаю, меня здесь любят, но меня любят, как ребенок любит свои игрушки. Я здесь для забавы, я здесь не могу никого научить тому, что я знаю… Нет, этого, конечно, говорить нельзя. Надо пустить слезу, а где я ее, эту слезу, найду? Но я у него все разнесу, пусть только попробует меня не пустить. Все разнесу и уйду пешком. Перец представил себе, как идет по пыльной дороге под палящим солнцем, километр за километром, а чемодан ведет себя все более и более самостоятельно. И с каждым шагом он все дальше и дальше удаляется от леса, от своей мечты, от своей тревоги, которая давно уже стала смыслом его жизни…

Что-то долго никого не вызывают, подумал он. Наверное, директор очень заинтересовался проектом отлова детей. И почему это из кабинета никто не выходит? Вероятно, есть другой выход.

— Извините, пожалуйста, — сказал он, обращаясь к моншеру Брандскугелю. — Который час?

Моншер Брандскугель посмотрел на свои ручные часы, подумал и сказал:

— Я не знаю.

Тогда Перец нагнулся к его уху и прошептал:

— Я никому не скажу. Ни-ко-му.

Моншер Брандскугель колебался. Он нерешительно потрогал пальцами пластиковый жетон со своим именем, украдкой огляделся, нервно зевнул, снова огляделся и, надвинув плотнее маску, ответил шепотом:

— Я не знаю.

Затем он встал и поспешно удалился в другой угол приемной. Секретарша сказала:

— Перец, ваша очередь.

— Как моя? — удивился Перец. — Я же четвертый.

— Внештатный сотрудник Перец, — повысив голос, сказала секретарша. — Ваша очередь.

— Рассуждает… — проворчал кто-то.

— Вот таких нам надо гнать… — громко сказали слева. — Раскаленной метлой!

Перец поднялся. Ноги у него были как ватные. Он бессмысленно пошаркал себя ладонями по бокам. Секретарша пристально глядела на него.

— Чует кошка, — сказали в приемной.

— Сколько веревочке ни виться…

— И вот такого мы терпели!

— Извините, но это вы терпели. Я его в первый раз вижу.

— А я, между прочим, тоже не в двадцатый.

— Ти-ше! — сказала секретарша, повысив голос. — Соблюдайте тишину! И не сорите на пол — вот вы, там… Да, да, я вам говорю. Итак, сотрудник Перец, вы будете проходить? Или вызвать охрану?

— Да, — сказал Перец. — Да, я иду.

Последним, кого он видел в приемной, был моншер Брандскугель, загородившийся в углу креслом, оскаленный, присевший, с рукой в заднем кармане брюк. А потом он увидел директора.

Директор оказался стройным ладным человеком лет тридцати пяти, в превосходно сидящем дорогом костюме. Он стоял у распахнутого окна и сыпал хлебные крошки голубям, толпившимся на подоконнике. Кабинет был абсолютно пуст, не было ни одного стула, не было даже стола, и только на стене против окна висела уменьшенная копия «Подвига лесопроходца Селивана».

— Внештатный сотрудник Управления Перец? — чистым звонким голосом произнес директор, поворачивая к Перецу свежее лицо спортсмена.

— Д-да… Я… — промямлил Перец.

— Очень, очень приятно. Наконец-то мы с вами познакомимся. Здравствуйте. Моя фамилия Ахти. Много о вас наслышан. Будем знакомы.

Перец, наклонившись от робости, пожал протянутую руку. Рука была сухая и крепкая.

— А я вот, видите, голубей кормлю. Любопытная птица. Огромные в ней чувствуются потенции. А как вы, мосье Перец, относитесь к голубям?

Перец замялся, потому что терпеть не мог голубей. Но лицо директора излучало такое радушие, такой живой интерес, такое нетерпеливое ожидание ответа, что Перец совладал с собою и соврал:

— Очень люблю, мосье Ахти.

— Вы их любите в жареном виде? Или в тушеном? Я, например, люблю в пироге. Пирог с голубями и стакан хорошего полусухого вина — что может быть лучше? Как вы думаете?

И снова на лице мосье Ахти появилось выражение живейшего интереса и нетерпеливого ожидания.

— Изумительно, — сказал Перец. Он решил махнуть на все рукой и со всем соглашаться.

— А «Голубка» Пикассо! — сказал мосье Ахти. — Я сразу же вспоминаю: «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновения бегут неудержимо…» Как точно выражена эта идея нашей неспособности уловить и материализовать прекрасное!

— Превосходные стихи, — тупо сказал Перец.

— Когда я впервые увидел «Голубку», я, как и многие, вероятно, подумал, что рисунок неверен или, во всяком случае, неестественен. Но потом по роду службы мне пришлось приглядеться к голубям, и я вдруг осознал, что Пикассо, этот чудодей, схватил то мгновение, когда голубь складывает крылья перед приземлением! Его лапки уже касаются земли, но сам он еще в воздухе, еще в полете. Мгновение превращения движения в неподвижность, полета в покой.

— У Пикассо есть странные картины, которые я не понимаю, — сказал Перец, проявляя независимость суждений.

— О, вы просто недостаточно долго смотрели на них. Чтобы понимать настоящую живопись, недостаточно два или три раза в год пройти по музею. На картины нужно смотреть часами. Как можно чаще. И только на оригиналы. Никаких репродукций. Никаких копий… Вот взгляните на эту картину. По вашему лицу я вижу, что вы о ней думаете. И вы правы: это дурная копия. Но вот если бы вам довелось ознакомиться с оригиналом, вы бы поняли идею художника.

— В чем же она заключается?

— Я попытаюсь вам объяснить, — с готовностью предложил директор. — Что вы видите на этой картине? Формально — получеловека-полудерево. Картина статична. Не виден, не улавливается переход от одной сущности к другой. В картине отсутствует главное — направление времени. А вот если бы вы имели возможность изучить оригинал, вы бы поняли, что художнику удалось вложить в изображение глубочайший символический смысл, что он запечатлел не человеко-дерево и даже не превращение человека в дерево, а именно и только превращение дерева в человека. Художник воспользовался идеей старой легенды для того, чтобы изобразить возникновение новой личности. Новое из старого. Живое из мертвого. Разумное из косной материи. Копия абсолютно статична, и все, изображенное на ней, существует вне потока времени. Оригинал же содержит время-движение! Вектор! Стрелу времени, как сказал бы Эддингтон…

— А где же оригинал? — спросил Перец вежливо.

Директор улыбнулся.

— Оригинал, разумеется, уничтожен как предмет искусства, не допускающий двоякого толкования. Первая и вторая копии тоже из некоторой предосторожности уничтожены.

Мосье Ахти вернулся к окну и локтем спихнул голубей с подоконника.

— Так. О голубях мы поговорили, — произнес он новым, каким-то казенным голосом. — Ваше имя?

— Что?

— Имя. Ваше имя.

— Пе… Перец.

— Год рождения?

— Тридцатый…

— Точнее!

— Тысяча девятьсот тридцатый. Пятое марта.

— Что вы здесь делаете?

— Внештатный сотрудник. Прикомандирован к группе Научной охраны.

— Я вас спрашиваю: что вы здесь делаете? — сказал директор, обращая к Перецу слепые глаза.

— Я… Не знаю. Я хочу уехать отсюда.

— Ваше мнение о лесе. Кратко.

— Лес — это… Я всегда… Я его… боюсь. И люблю.

— Ваше мнение об Управлении?

— Тут много хороших людей, но…

— Достаточно.

Директор подошел к Перецу, обнял его за плечи и, заглядывая в глаза, сказал:

— Слушай, друг! Брось! Возьмем на троих? Секретаршу позовем, видел бабу? Это же не баба, это же тридцать четыре удовольствия! «Откроем, ребята, заветную кварту!..» — пропел он спертым голосом. — А? Откроем? Брось, не люблю. Понял? Ты как насчет этого?

От него вдруг запахло спиртом и чесночной колбасой, глаза съехались к переносице.

— Инженера позовем, Брандскугеля, моншера моего, — продолжал он, прижимая Переца к груди. — Он такие истории излагает — никакой закуски не надо… Пошли?

— Собственно, можно, — сказал Перец. — Но я ведь…

— Ну чего там — ты?

— Я, мосье Ахти…

— Брось! Какой я тебе мосье? Камрад — понял? Генацвале!

— Я, камрад Ахти, пришел попросить вас…

— Пр-р-роси! Ничего не пожалею! Деньги надо — на деньги! Не нравится тебе кто — скажи, рассмотрим! Ну?

— Н-нет, я просто хочу уехать. Я никак не могу уехать, я попал сюда случайно, камрад Ахти, и мне здесь больше нечего делать. Разрешите мне уехать. Мне никто не хочет помочь, и я прошу вас как директора…

Ахти отпустил Переца, поправил галстук и сухо улыбнулся.

— Вы ошибаетесь, Перец, — сказал он. — Я не директор. Я референт директора по кадрам. Извините, я несколько задержал вас. Прошу в эту дверь. Директор вас примет.

Он распахнул перед Перецом низенькую дверцу в глубине своего голого кабинета и сделал приглашающий жест рукой. Перец кашлянул, сдержанно кивнул ему и, нагнувшись, пролез в следующее помещение. При этом ему показалось, что его слегка ударили по задней части. Впрочем, вероятно, только показалось или, может быть, мосье Ахти несколько поторопился захлопнуть дверь.

Комната, в которую он попал, была точной копией приемной, и даже секретарша была точной копией первой секретарши, но читала она книгу под названием «Сублимация гениальности». В креслах совершенно так же сидели бледные посетители с журналами и газетами. Был тут и профессор Какаду, тяжко страдающий от нервной почесушки, и Беатриса Вах с коричневой папкой на коленях. Правда, все прочие посетители были незнакомы, а под копией картины «Подвиг лесопроходца Селивана» равномерно вспыхивала и гасла строгая надпись: «ТИХО!». Поэтому здесь никто не разговаривал. Перец осторожно опустился на краешек кресла. Беатриса улыбнулась ему несколько настороженно, но в общем приветливо.

Через минуту нервного молчания звякнул колокольчик, и секретарша, отложив книгу, сказала:

— Преподобный Лука, вас просят.

На преподобного Луку было страшно смотреть, и Перец отвернулся. Ничего, подумал он, закрывая глаза. Выдержу. Он вспомнил, как дождливым осенним вечером в квартиру принесли Эсфирь, которую зарезал в подъезде дома пьяный хулиган… и соседей, повисших на нем, и стеклянные крошки во рту — он разгрыз стакан, когда ему принесли воды… Да, подумал он, самое тяжелое позади…

Его внимание привлекли быстрые скребущие звуки. Он открыл глаза и огляделся. Через кресло от него профессор Какаду яростно чесался обеими руками под мышками. Как обезьяна.

— Как вы думаете, нужно отделять мальчиков от девочек? — дрожащим шепотом спросила Беатриса.

— Я не знаю, — желчно сказал Перец.

— Комплексное воспитание имеет, конечно, свои преимущества, — продолжала бормотать Беатриса, — но это же особый случай… Господи! — сказала она вдруг плаксиво. — Неужели он меня прогонит? Куда я тогда пойду? Меня уже отовсюду прогоняли, у меня не осталось ни одной пары приличных туфель. Все чулки поехали, пудра какая-то комками…

Секретарша отложила книгу и строго сказала:

— Не отвлекайтесь.

Беатриса испуганно замерла. Тут низенькая дверь распахнулась, и в приемную просунулся наголо обритый человек.

— Перец здесь есть такой? — зычно осведомился он.

— Есть, — сказал Перец, вскакивая.

— На выход с вещами! Машина отходит через десять минут, живо!

— Куда машина? Почему?

— Вы Перец?

— Да.

— Вы уехать хотели или нет?

— Я хотел, но…

— Ну, как хотите, — сердито рявкнул бритый. — Мое дело сказать.

Он скрылся, и дверца захлопнулась. Перец кинулся следом.

— Назад! — закричала секретарша, и несколько рук схватили его за одежду. Перец отчаянно рванулся, пиджак его затрещал.

— Там же машина! — простонал он.

— Вы с ума сошли! — сказала раздраженная секретарша. — Куда вы ломитесь? Вот же дверь, написано «ВЫХОД», а вы куда?

Твердые руки направили Переца к надписи «ВЫХОД». За дверью оказался обширный многоугольный зал, в который выходило множество дверей, и Перец заметался, раскрывая их одну за другой.

Яркое солнце, стерильно-белые стены, люди в белых халатах. Голая спина, замазанная йодом. Запах аптеки. Не то.

Тьма, треск кинопроектора. На экране кого-то тянут за уши в разные стороны. Белые пятна недовольно повернутых лиц. Голос: «Дверь! Дверь закройте!» Опять не то…

Перец, скользя по паркету, пересек зал.

Запах кондитерской, небольшая очередь с сумками. За стеклянным барьером блестят бутылки с кефиром, цветут торты и пирожные.

— Господа! — крикнул Перец. — Где здесь выход?

— А вам откуда выход? — спросил дебелый продавец в поварском колпаке.

— Отсюда…

— А вот дверь, в которой вы стоите.

— Не слушайте его, — сказал продавцу хилый старик из очереди. — Это здесь есть один такой остряк, только очередь задерживает… Работайте, не обращайте внимания.

— Да я не острю, — сказал Перец. — У меня машина сейчас уйдет…

— Да, это не тот, — сказал справедливый старик. — Тот всегда спрашивает, где уборная. Где у вас, вы говорите, машина, сударь?

— На улице…

— На какой улице? — спросил продавец. — Улиц много.

— Мне все равно на какую, мне лишь бы выйти наружу!

— Нет, — сказал проницательный старик. — Это все тот же. Он просто программу переменил. Не обращайте на него внимания…

Перец в отчаянии огляделся, выскочил обратно в зал и ткнулся в соседнюю дверь. Дверь была заперта. Недовольный голос осведомился:

— Кто там?

— Мне нужно выйти! — крикнул Перец. — Где здесь выход?

— Подождите, сейчас.

За дверью раздавался какой-то шум, плеск воды, стук задвигаемых ящиков. Голос спросил:

— Что вам нужно?

— Выйти! Выйти мне нужно!

— Сейчас.

Скрипнул ключ, и дверь отворилась. В комнате было темно.

— Проходите, — сказал голос.

Пахло проявителем. Перец, выставив вперед руки, сделал несколько неуверенных шагов.

— Ничего не вижу, — сказал он.

— Сейчас привыкнете, — пообещал голос. — Ну, идите же, что вы встали?

Переца взяли за рукав и повели.

— Распишитесь вот здесь, — сказал голос.

В пальцах Переца оказался карандаш. Теперь он видел в темноте смутно белеющий лист бумаги.

— Расписались?

— Нет. А в чем расписываться?

— Да вы не бойтесь, это не смертный приговор. Распишитесь, что вы ничего не видели.

Перец наугад расписался. Его снова цепко взяли за рукав, провели между какими-то портьерами, потом голос спросил:

— Много вас здесь накопилось?

— Четверо, — раздалось как бы из-за двери.

— Очередь построена? Имейте в виду, сейчас я открою дверь и выпущу человека. Проходите по одному, не толкайтесь, и без шуток. Ясно?

— Ясно. Не в первый раз.

— Одежду никто не забыл?

— Не забыли, не забыли. Выпускайте.

Снова раздался скрип ключа. Перец чуть не ослеп от яркого света, и тут его вытолкнули. Еще не раскрывая глаз, он скатился по каким-то ступеням и только тогда понял, что находится во внутреннем дворе Управления. Недовольные голоса закричали:

— Ну что же вы, Перец? Скорее! Сколько можно ждать?

Посередине двора стоял грузовик, набитый сотрудниками группы Научной охраны. Из кабины выглядывал Ким и сердито махал рукой. Перец подбежал к машине, вскарабкался на борт, его рванули, подхватили и свалили на дно кузова. Грузовик сейчас же взревел, дернулся, кто-то наступил Перецу на руку, кто-то с размаху сел на него, все загорланили, засмеялись, и они поехали.

— Перчик, вот твой чемодан, — сказал кто-то.

— Перец, это правда, что вы уезжаете?

— Пан Перец, сигарету не угодно?

Перец закурил, уселся на чемодан и поднял воротник пиджака. Ему подали плащ, и он, благодарно улыбнувшись, завернулся в него. Грузовик мчался все быстрее, и хотя день был жаркий, встречный ветер казался весьма пронзительным. Перец курил, укрывая сигарету в кулаке, и озирался. Еду, думал он. Еду. В последний раз вижу тебя, стена. В последний раз вижу вас, коттеджи. Прощай, свалка, где-то здесь я оставил галоши. Прощай, лужа, прощайте, шахматы, прощай, кефир. Как славно, как легко! Никогда в жизни больше не буду пить кефира. Никогда в жизни больше не сяду за шахматы…

Сотрудники, сбившись к кабине, держась друг за друга и прячась друг за друга от ветра, разговаривали на отвлеченные темы.

— Это подсчитано, и я сам считал. Если так пойдет дальше, то через сто лет на каждый квадратный метр территории будет приходиться десять сотрудников, а общая масса будет такая, что утес обвалится. Транспортных средств для доставки продовольствия и воды понадобится столько, что придется создавать автоконвейер между Управлением и Материком, машины будут идти со скоростью сорок километров в час и с интервалом в один метр, а разгружаться будут на ходу… Нет, я совершенно уверен, что дирекция уже сейчас думает о регулировании притока новых сотрудников. Ну посудите сами: комендант гостиницы — так же нельзя, семеро и вот-вот восьмой. И все здоровы. Домарощинер считает, что с этим надо что-то делать. Нет, не обязательно стерилизация, как он предлагает…

— Кто бы говорил, но не Домарощинер.

— Поэтому я и говорю, что не обязательно стерилизация…

— Говорят, что годовые отпуска будут увеличены до шести месяцев.

Они миновали парк, и Перец вдруг понял, что грузовик едет не в ту сторону. Сейчас они выедут за ворота и поедут по серпантину, вниз, под утес.

— Слушайте, куда мы едем? — спросил он встревоженно.

— Как — куда? Жалование получать.

— А разве не на Материк?

— Зачем же на Материк? Кассир приехал на биостанцию.

— Так вы едете на биостанцию? В лес?

— Ну да. Мы же Научная охрана и деньги получаем на биостанции.

— А как же я? — растерянно спросил Перец.

— И ты получишь. Тебе премия полагается… Кстати, все оформлены?

Сотрудники зашевелились, извлекая из карманов и внимательно осматривая разноформатные и разноцветные бумаги с печатями.

— Перец, а вы заполнили анкету?

— Какую анкету?

— То есть позвольте, что значит — какую? Форму номер восемьдесят четыре.

— Я ничего не заполнял, — сказал Перец.

— Милостивые государи! Да что же это? У Переца бумаг нет!

— Ну, это не важно. У него, вероятно, пропуск…

— Нет у меня пропуска, — сказал Перец. — Ничего нет. Только чемодан и вот плащ… Я ведь не в лес собирался, я уехать хотел…

— А медосмотр? А прививки?

Перец помотал головой. Грузовик уже катил по серпантину, и Перец отрешенно смотрел на лес, на плоские пористые пласты его у самого горизонта, на его застывшее грозовое кипение, на липкую паутину тумана в тени утеса.

— Такие вещи даром не проходят, — сказал кто-то.

— Ну, в конце концов, на дороге никаких объектов нет…

— А Домарощинер?

— Ну что ж Домарощинер, раз объектов нет?

— Этого, положим, ты не знаешь. И никто не знает. А вот в прошлом году Кандид вылетел без документов, отчаянный парень, и где теперь Кандид?

— Во-первых, не в прошлом году, а гораздо раньше. А во-вторых, он просто погиб. На своем посту.

— Да? А ты приказ видел?

— Это верно, не было приказа.

— То есть даже спорить не о чем. Как посадили его в бункер при пропускном пункте, так он там до сих пор и сидит. Анкеты заполняет…

— Как же ты это, Перчик, анкеты не заполнил? Может быть, у тебя не все чисто?

— Минуточку, господа! Это вопрос серьезный. Я предлагаю на всякий случай проверить сотрудника Переца, так сказать, в демократическом порядке. Кто у нас будет секретарем?

— Домарощинера секретарем!

— Очень хорошее предложение. Почетным секретарем мы избираем нашего многоуважаемого Домарощинера. По лицам вижу, что единогласно. А кто у нас будет товарищ секретаря?

— Вандербильда товарищем секретаря!

— Вандербильда?.. Ну что же… Есть предложение избрать товарищем секретаря Вандербильда. Еще предложения есть? Кто за? Против? Воздержался? Гм… Двое воздержались. Вы почему воздержались?

— Я?

— Да-да, именно вы.

— Смысла не вижу. Зачем из человека душу вынимать? Ему и так плохо.

— Понятно. А вы?

— Не твое собачье дело.

— Как угодно… Товарищ секретаря, запишите: двое воздержались. Начнем. Кто первый? Нет желающих? Тогда позвольте мне. Сотрудник Перец, ответьте на следующий вопрос. Какие расстояния вы преодолели в промежуток между двадцатью пятью и тридцатью годами: а — на ногах, бэ — наземным транспортом, це — воздушным транспортом? Не торопитесь, подумайте. Вот вам бумага и карандаш.

Перец послушно взял бумагу и карандаш и принялся вспоминать. Грузовик трясло. Сначала все смотрели на него, а потом смотреть надоело, и кто-то забубнил:

— Перенаселения я не боюсь. А вот видели вы, сколько техники стоит? На пустыре за мастерскими — видели? А что это за техника, знаете? Правильно, она в ящиках, заколочена. И времени нет ни у кого ее раскрыть и посмотреть. А знаете, что я там позапрошлым вечером видел? Остановился я закурить, и вдруг раздается какой-то треск. Оборачиваюсь и вижу: стенка одного ящика, огромного, с хороший дом, выдавливается и распахивается как ворота. И из ящика выползает механизм. Описывать я его вам не буду, сами понимаете почему. Но зрелище… Постоял он несколько секунд, выбросил из себя вверх длинную трубу с такой вертушкой на конце, как бы огляделся, и снова в ящик заполз и крышкой закрылся. Я себя плохо тогда чувствовал и просто не поверил своим глазам. А сегодня утром думаю: «Дай все-таки посмотрю». Пришел — и мороз у

меня по коже. Ящик в полном порядке, ни одной щели, но стенка эта гвоздями ИЗНУТРИ приколочена! А наружу торчат острия блестящие, в палец длиной. И вот теперь я думаю: зачем она вылезала? И одна ли она такая? Может быть, они все каждую ночь вот этак… осматриваются. И пока там перенаселение, пока что, а они устроят нам когда-нибудь Варфоломеевскую ночь, и полетят наши косточки с обрыва. А может быть, и не косточки даже, а костяная крупа… Что? Нет уж, спасибо, дорогой, инженерникам сам сообщай, если хочешь. Ведь я эту машину ВИДЕЛ, а откуда мне теперь знать, можно ее было видеть или нельзя? На ящиках грифа нет…

— Итак, Перец, вы готовы?

— Нет, — сказал Перец. — Ничего не могу вспомнить. Это же давно было.

— Странно. Вот я, например, отлично помню. Шесть тысяч семьсот один километр по железной дороге, семнадцать тысяч сто пятьдесят три километра по воздуху (из них три тысячи двести пятнадцать километров по личным надобностям) и пятнадцать тысяч семь километров — пешком. А ведь я старше вас. Странно, странно, Перец… Н-ну, хорошо. Попробуем следующий пункт. Какие игрушки вы более предпочитали в дошкольном возрасте?

— Заводные танки, — сказал Перец и вытер со лба пот. — И броневики.

— Ага! Помните! А ведь это был дошкольный возраст, времена, так сказать, гораздо более отдаленные. Хотя и менее ответственные, правда, Перец? Так. Значит, танки и броневики… Следующий пункт. В каком возрасте вы почувствовали влечение к женщине, в скобках — к мужчине? Выражение в скобках обращено, как правило, к женщинам. Можете отвечать.

— Давно, — сказал Перец. — Это было очень давно.

— Точнее.

— А вы? — сказал Перец. — Скажите сначала вы, а потом я.

Председательствующий пожал плечами.

— Мне скрывать нечего. Впервые это случилось в возрасте девяти лет, когда меня мыли вместе с двоюродной сестрой… А теперь прошу вас.

— Не могу, — сказал Перец. — Не желаю я отвечать на такие вопросы.

— Дурак, — прошептали у него над ухом. — Соври что-нибудь с серьезным видом, и все. Что ты мучаешься? Кто там тебя будет проверять?

— Ладно, — покорно сказал Перец. — В возрасте десяти лет. Когда меня купали вместе с собакой Муркой.

— Прекрасно! — воскликнул председательствующий. — Можете ведь, если захотите! А теперь перечислите болезни ног, которыми вы страдали.

— Ревматизм.

— Еще?

— Перемежающаяся хромота.

— Очень хорошо. Еще?

— Насморк, — сказал Перец.

— Это не болезнь ног.

— Не знаю. Это у вас, может быть, не болезнь ног. А у меня — именно ног. Промочил ноги, и насморк.

— Н-ну, предположим. А еще?

— Неужели мало?

— Это как вам угодно. Но предупреждаю: чем больше, тем лучше.

— Спонтанная гангрена, — сказал Перец. — С последующей ампутацией. Это была последняя болезнь моих ног.

— Теперь, пожалуй, достаточно. Последний вопрос. Ваше мировоззрение, кратко.

— Материалист, — сказал Перец.

— Какой именно материалист?

— Эмоциональный.

— У меня вопросов больше нет. Как у вас, господа?

Вопросов больше не было. Сотрудники частью дремали, частью беседовали, повернувшись к председательствующему спиной. Грузовик шел теперь медленно. Становилось жарко, тянуло влагой и запахом леса, неприятным и острым запахом, который в обычные дни не достигал Управления. Грузовик катился с выключенным мотором, и слышно было, как издалека, из очень далекого далека доносится слабое урчание грома.

— Поражаюсь я, на вас глядя, — говорил товарищ секретаря, тоже повернувшись спиной к председательствующему. — Нездоровый пессимизм какой-то. Человек по своей натуре оптимист, это во-первых. А во-вторых — и в главных, — неужели вы полагаете, что директор меньше вас думает обо всех эти вещах? Смешно даже. В последнем своем выступлении, обращаясь ко мне, директор развернул величественные перспективы. У меня просто дух захватило от восторга, я не стыжусь сознаться. Я всегда был оптимистом, но эта картина… Если хотите знать, все будет снесено, все эти склады, коттеджи… Вырастут ослепительной красоты здания из прозрачных и полупрозрачных материалов, стадионы, бассейны, воздушные парки, хрустальные распивочные и закусочные! Лестницы в небо! Стройные гибкие женщины со смуглой упругой кожей! Библиотеки! Мышцы! Лаборатории! Пронизанные солнцем и светом! Свободное расписание! Автомобили, глайдеры, дирижабли… Диспуты, обучение во сне, стереокино… Сотрудники после служебных часов будут сидеть в библиотеках, размышлять, сочинять мелодии, играть на гитарах и других музыкальных инструментах, вырезать по дереву, читать друг другу стихи!..

— А ты что будешь делать?

— Я буду вырезать по дереву.

— А еще что?

— Еще я буду писать стихи. Меня научат писать стихи, у меня хороший почерк.

— А я что буду делать?

— Что захочешь! — великодушно сказал товарищ секретаря. — Вырезать по дереву, писать стихи… Что захочешь.

— Не хочу я вырезать по дереву. Я математик.

— И пожалуйста! И занимайся себе математикой на здоровье!

— Математикой я и сейчас занимаюсь на здоровье.

— Сейчас ты получаешь за это жалованье. Глупо. Будешь прыгать с вышки.

— Зачем?

— Ну как — зачем? Интересно ведь…

— Не интересно.

— Ты что же хочешь сказать? Что ты ничем, кроме математики, не интересуешься?

— Да вообще-то ничем, пожалуй… День проработаешь, до того обалдеешь, что больше ничем уже не интересуешься.

— Ты просто ограниченный человек. Ничего, тебя разовьют. Найдут у тебя какие-нибудь способности, будешь сочинять музыку, вырезать что-нибудь такое…

— Сочинять музыку — не проблема. Вот где найти слушателей…

— Ну, я тебя послушаю с удовольствием… Перец вот…

— Это тебе только кажется. Не будешь ты меня слушать. И стихи ты сочинять не будешь. Повыпиливаешь по дереву, а потом к бабам пойдешь. Или напьешься. Я же тебя знаю. И всех я здесь знаю. Будете слоняться от хрустальной распивочной до алмазной закусочной. Особенно если будет свободное расписание. Я даже подумать боюсь, что же это будет, если дать вам здесь свободное расписание.

— Каждый человек в чем-нибудь да гений, — возразил товарищ секретаря. — Надо только найти в нем это гениальное. Мы даже не подозреваем, а я, может быть, гений кулинарии, а ты, скажем, гений фармацевтики, а занимаемся мы не тем и раскрываем себя мало. Директор сказал, что в будущем этим будут заниматься специалисты, они будут отыскивать наши скрытые потенции…

— Ну, знаешь, потенции — это дело темное. Я-то, вообще, с тобой не спорю, может быть, действительно в каждом сидит гений, да только что делать, если данная гениальность может найти себе применение либо только в далеком прошлом, либо в далеком будущем, а в настоящем — даже гениальностью не считается, проявил ты ее или нет. Хорошо, конечно, если ты окажешься гением кулинарии. А вот как выяснится, что ты гениальный извозчик, а Перец — гениальный обтесыватель каменных наконечников, а я — гениальный уловитель какого-нибудь икс-поля, о котором никто ничего не знает и узнает только через двести лет… Вот тогда-то, как сказал поэт, и повернется к нам черное лицо досуга…

— Ребята, — сказал кто-то, — а пожрать-то мы с собой ничего не взяли. Пока приедем, пока деньги выдадут…

— Стоян накормит.

— Стоян тебя накормит, как же. У них там пайковая система.

— Надо же, ведь давала жена бутерброды!

— Ничего, потерпим, вон уже шлагбаум…

Перец вытянул шею. Впереди желто-зеленой стеной стоял лес, и дорога уходила в него, как нитка уходит в пестрый ковер. Грузовик проехал мимо фанерного плаката: «ВНИМАНИЕ! СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ! ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ!». Уже был виден полосатый опущенный шлагбаум, грибок возле него, а правее — колючая проволока, белые шишки изоляторов, решетчатые башни с прожекторами. Грузовик остановился. Все стали смотреть на охранника, который, перекрестив ноги, стоя дремал под грибком с карабином под мышкой. На губе у него висела потухшая сигарета, а площадка под грибком была усыпана окурками. Рядом со шлагбаумом торчал шест с прибитыми к нему предупреждающими надписями: «ВНИМАНИЕ! ЛЕС!», «ПРЕДЪЯВЛЯЙ ПРОПУСК В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ!», «НЕ ЗАНЕСИ ЗАРАЗУ!». Шофер деликатно погудел. Охранник открыл глаза, мутно посмотрел перед собою, потом отделился от грибка и пошел вокруг автомобиля.

— Много что-то вас, — сказал он сипло. — За деньгами?

— Точно так, — заискивающе сказал бывший председательствующий.

— Хорошее дело, доброе, — сказал охранник. Он обошел грузовик, стал на подножку и заглянул в кузов. — Ох, сколько же вас, — сказал он с упреком. — А руки? Руки как, чистые?

— Чистые! — хором сказали сотрудники. Некоторые выставили ладони.

— У всех чистые?

— У всех!

— Ладненько, — сказал охранник и по пояс засунулся в кабину. Из кабины донеслось: — Кто старший? Вы будете старший? Сколько везешь? Ага… Не врешь? Фамилия как? Ким? Ну, смотрите, Ким, я твою фамилию запишу… Здорово, Вольдемар! Все ездишь?.. А я вот все охраняю. Покажи удостоверение. Ну-ну, ты не лайся, давай показывай… В порядке удостоверение, а то бы я тебя… Что же это ты на удостоверении телефоны пишешь? Постой… Это какая же Шарлотка? А-а, помню. Дай-ка я тоже перепишу… Ну, спасибо. Езжайте. Можно ехать.

Он соскочил с подножки, подымая сапогами пыль, подошел к шлагбауму и навалился на противовес. Шлагбаум медленно поднялся, развешанные на нем кальсоны съехали в пыль. Грузовик тронулся.

В кузове загомонили, но Перец ничего не слышал. Он въезжал в лес. Лес приближался, надвигался, громоздился все выше и выше, как океанская волна, и вдруг поглотил его. Не стало больше солнца и неба, пространства и времени, лес занял их место. Было только мелькание сумрачных красок, влажный густой воздух, диковинные запахи, как чад, и терпкий привкус во рту. Только слуха не касался лес: звуки леса заглушались ревом двигателя и болтовней сотрудников. Вот и лес, повторял Перец, вот я и в лесу, бессмысленно повторял он. Не сверху, а внутри, не

наблюдатель, а участник. Вот я и в лесу. Что-то прохладное и влажное коснулось его лица, пощекотало, отделилось и медленно опустилось к нему на колени. Он посмотрел: тонкое длинное волокно какого-то растения, а может быть, животное, а может быть, просто прикосновение леса, дружеское приветствие или подозрительное ощупывание; он не стал трогать этого волокна.

А грузовик мчался по дороге славного наступления, желтое, зеленое, коричневое покорно уносилось назад, а вдоль обочин тянулись неубранные и забытые колонны ветеранов наступавшей армии, вздыбленные черные бульдозеры с яростно задранными ржавыми щитами, зарывшиеся по кабину в землю тракторы, за которыми змеились распластанные гусеницы, грузовики без колес и без стекол — все мертвое, заброшенное навсегда, но по-прежнему бесстрашно глядящее вперед, в глубину леса развороченными радиаторами и разбитыми фарами. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился, менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и отступая, издевался, пугал и глумился лес, и он весь был необычен, и его нельзя было описать, и от него мутило.

Глава шестая

Перец

Перец, отворив дверцу вездехода, смотрел в заросли. Он не знал, что он должен увидеть. Что-то похожее на тошнотворный кисель. Что-то необычайное, что нельзя описать. Но самым необычайным, самым невообразимым, самым невозможным в этих зарослях были люди, и поэтому Перец видел только их. Они шли к вездеходу, тонкие и ловкие, уверенные и изящные, они шли легко, не оступаясь, мгновенно и точно выбирая место, куда ступить, и они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им, они даже, наверное, не делали вид, они действительно думали так, а лес висел над ними, беззвучно смеясь и указывая мириадами глумливых пальцев, ловко притворяясь и знакомым, и покорным, и простым — совсем своим. Пока. До поры до времени…

— Ох, и хороша же эта баба — Рита, — сказал бывший шофер Тузик Перецу. Он стоял рядом с вездеходом, широко раздвинув кривоватые ноги, придерживая ляжками хрюкающий и дрожащий мотоцикл. — Обязательно я бы добрался до нее, да только вот этот Квентин… Внимательный мужчина.

Квентин и Рита подошли совсем близко, и Стоян вылез им навстречу из-за руля.

— Ну, как она у вас тут? — спросил Стоян.

— Дышит, — сказал Квентин, внимательно разглядывая Переца. — Что, деньги привезли?

— Это Перец, — сказал Стоян. — Я вам рассказывал.

Рита и Квентин улыбнулись Перецу. Не было времени рассматривать их, и Перец только мельком подумал, что никогда раньше не видел такой странной женщины, как Рита, и такого глубоко несчастного мужчины, как Квентин.

— Здравствуйте, Перец, — сказал Квентин, продолжая жалко улыбаться. — Приехали посмотреть? Никогда раньше не видели?

— Я и сейчас не вижу, — сказал Перец. Несомненно, эта несчастность и эта странность были неуловимо, но очень жестко связаны между собой.

Рита, повернувшись к ним спиной, закурила.

— Да вы не туда смотрите, — сказал Квентин. — Прямо смотрите, прямо! Неужели не видите?

И тогда Перец увидел и сразу забыл о людях. Это появилось, как скрытое изображение на фотобумаге, как фигурка на детской загадочной картинке «Куда спрятался зайчик?» — и, однажды разглядев это, больше невозможно было потерять из виду. Оно было совсем рядом, оно начиналось в десятке шагов от колес вездехода и от тропинки. Перец судорожно глотнул.

Живой столб поднимался к кронам деревьев, сноп тончайших прозрачных нитей, липких, блестящих, извивающихся и напряженных, сноп, пронизывающий плотную листву и уходящий еще выше, в облака. И он зарождался в клоаке, в жирной клокочущей клоаке, заполненной протоплазмой — живой, активной, пухнущей пузырями примитивной плоти, хлопотливо организующей и тут же разлагающей себя, изливающей продукты разложения на плоские берега, плюющейся клейкой пеной… И сразу же, словно включились невидимые звукофильтры, из хрюканья мотоцикла выделился голос клоаки: клокотание, плеск, всхлипывания, бульканье, протяжные болотные стоны; и надвинулась тяжелая стена запахов: сырого сочащегося мяса, сукровицы, свежей желчи, сыворотки, горячего клейстера — и только тогда Перец заметил, что у Риты и Квентина на груди висят кислородные маски, и увидел, как Стоян, брезгливо кривясь, поднимает к лицу намордник респиратора, но сам он не стал надевать респиратор, он словно надеялся, что хотя бы запахи расскажут ему то, чего не рассказали ни глаза, ни уши…

— Воняет тут у вас, — говорил Тузик с отвращением. — Как в покойницкой…

А Квентин говорил Стояну:

— Ты бы попросил Кима, пусть похлопочет насчет пайков. У нас все-таки вредный цех. Нам полагается молоко, шоколад…

А Рита задумчиво курила, выпуская дым из тонких подвижных ноздрей.

Вокруг клоаки, заботливо склоняясь над нею, трепетали деревья, их ветви были повернуты в одну сторону и никли к бурлящей массе, и по ветвям струились и падали в клоаку толстые мохнатые лианы, и клоака принимала их в себя, и протоплазма обгладывала их и превращала в себя, как она могла растворить и сделать своею плотью все, что окружало ее…

— Перчик, — сказал Стоян. — Не выпучивайся так, глаза выскочат.

Перец улыбнулся, но он знал, что улыбка у него получилась фальшивая.

— А зачем ты мотоцикл взял? — спросил Квентин.

— На случай, если застрянем. Они ползут по тропинке, я одним колесом встану на тропинку, а другим — по траве, а мотоцикл будет идти сзади. Если завязнем, Тузик смотается на мотоцикле и вызовет тягач.

— Обязательно завязнете, — сказал Квентин.

— Конечно, завязнем, — сказал Тузик. — Глупая это у вас затея, я вам сразу сказал.

— Ты помалкивай, — сказал ему Стоян. — Твое дело маленькое… Скоро выход? — спросил он у Квентина.

Квентин посмотрел на часы.

— Так… — сказал он. — Она щенится сейчас каждые восемьдесят семь минут. Значит, осталось… осталось… Да ничего не осталось, вон она, уже начала.

Клоака щенилась. На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого, зыбко вздрагивающего теста, они беспомощно и слепо катились по земле, потом замирали, сплющивались, вытягивали осторожные ложноножки и вдруг начинали двигаться осмысленно — еще суетливо, еще тычась, но уже в одном направлении, все в одном определенном направлении, разбредаясь и сталкиваясь, но все в одном направлении, по одному радиусу от матки, в заросли, прочь, одной текучей белесой колонной, как исполинские мешковатые слизнеподобные муравьи…

— Тут же кругом трясина, — говорил Тузик. — Так врюхаемся, что никакой тягач не вытащит — все тросы лопнут.

— А может, с нами поедешь? — сказал Стоян Квентину.

— Рита устала.

— Ну, Рита пусть домой идет, а мы съездим…

Квентин колебался.

— Ты как, Риточка? — спросил он.

— Да, я пойду домой, — сказала Рита.

— Вот и хорошо, — сказал Квентин. — А мы съездим посмотрим, ладно? Скоро, наверное, вернемся. Ведь мы ненадолго, Стоян?

Рита бросила окурок и, не прощаясь, пошла по тропинке к биостанции. Квентин потоптался в нерешительности и потом сказал Перецу тихонько:

— Разрешите мне… Пробраться…

Он пролез на заднее сиденье, и в этот момент мотоцикл ужасно взревел, вырвался из-под Тузика и, высоко подпрыгивая, бросился прямо в клоаку. «Стой! — закричал Тузик, приседая. — Куда?» Все замерли. Мотоцикл налетел на кочку, дико заверещал, встал на дыбы и упал в клоаку. Все подались вперед. Перецу показалось, что протоплазма прогнулась под мотоциклом, словно смягчая удар, легко и беззвучно пропустила его в себя и сомкнулась над ним. Мотоцикл заглох.

— Сволочь неуклюжая, — сказал Стоян Тузику. — Что же ты сделал?

Клоака стала пастью, сосущей, пробующей, наслаждающейся. Она катала в себе мотоцикл, как человек катает языком от щеки к щеке большой леденец. Мотоцикл кружило в пенящейся массе,

он исчезал, появлялся вновь, беспомощно ворочая рогами руля, и с каждым появлением его становилось все меньше, металлическая обшивка истончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага, и уже смутно мелькали сквозь нее внутренности двигателя, а потом обшивка расползлась, шины исчезли, мотоцикл нырнул в последний раз и больше не появлялся.

— Сглодала, — сказал Тузик с идиотским восторгом.

— Сволочь неуклюжая, — повторил Стоян. — Ты у меня за это заплатишь. Ты у меня всю жизнь за это платить будешь.

— Ну и ладно, — сказал Тузик. — Ну и заплачу. А что я сделал-то? Ну, газ повернул не в ту сторону, — сказал он Перецу. — Вот он и вырвался. Понимаете, пан Перец, я хотел газ сделать поменьше, чтобы не так тарахтело, ну и не в ту сторону повернул. Не я первый, не я последний. Да и мотоцикл старый был… Так я пойду, — сказал он Стояну. — Что мне теперь здесь делать? Я домой пойду.

— Ты куда это смотришь? — сказал вдруг Квентин с таким выражением, что Перец невольно отстранился.

— А чего? — сказал Тузик. — Куда хочу, туда и смотрю.

Он смотрел назад, на тропинку, туда, где под плотным изжелта-зеленым навесом ветвей мелькала, удаляясь, оранжевая накидка Риты.

— А ну-ка, пустите меня, — сказал Квентин Перецу. — Я с ним сейчас поговорю.

— Ты куда, ты куда? — забормотал Стоян. — Квентин, ты опомнись…

— Нет, чего там — опомнись, я же давно вижу, чего он добивается!

— Слушай, не будь ребенком… Ну, прекрати! Ну, опомнись!..

— Пусти, говорят тебе, пусти руку!..

Они шумно возились рядом с Перецом, толкая его с двух сторон. Стоян крепко держал Квентина за рукав и за полу куртки, а Квентин, ставший вдруг красным и потным, не сводя глаз с Тузика, одной рукой отпихивал Стояна, а другой рукой изо всей силы сгибал Переца пополам, стараясь через него перешагнуть. Он двигался рывками и с каждым рывком все больше вылезал из куртки. Перец улучил момент и вывалился из вездехода. Тузик все смотрел вслед Рите, рот у него был полуоткрыт, глаза масляные, ласковые.

— И чего она в брюках ходит, — сказал он Перецу. — Манера теперь у них появилась — в брюках ходить…

— Не защищай его! — заорал в машине Квентин. — Никакой он не половой неврастеник, а просто мерзавец! Пусти, а то я и тебе дам!

— Вот раньше были такие юбки, — сказал Тузик мечтательно. — Кусок материи обернет вокруг себя и застегнет булавкой. А я, значит, возьму и расстегну…

Если бы это было в парке… Если бы это было в гостинице, или в библиотеке, или в актовом зале… Это и бывало — и в парке, и в библиотеке, и даже в актовом зале во время доклада Кима «Что

необходимо знать каждому работнику Управления о методах математической статистики». А теперь лес видел все это и слышал все это: похотливое сальце, облившее Тузиковы глаза, багровую физиономию Квентина, мотающуюся в дверях вездехода, какую-то тупую, бычью, и мучительное бормотание Стояна — что-то о работе, об ответственности, о глупости, — и треск отлетающих пуговиц о ветровое стекло… И неизвестно, что думал обо всем этом, ужасался ли, насмехался ли или брезгливо морщился.

— …! — сказал Тузик с наслаждением.

И Перец ударил его. Ударил, кажется, по скуле, с хрустом, и вывихнул себе палец. Все сейчас же замолчали. Тузик взялся за скулу и с большим удивлением посмотрел на Переца.

— Нельзя так, — сказал Перец твердо. — Нельзя это здесь. Нельзя.

— Так я и не возражаю, — сказал Тузик, пожимая плечами. — Я ведь только к тому, что мне здесь делать больше нечего, мотоцикла-то нет, сами видите… Что ж мне теперь здесь делать?

Квентин громко осведомился:

— По морде?

— Ну да, — с досадой сказал Тузик. — По скуле попал, по самой косточке… Хорошо, что не в глаз.

— Нет, в самом деле, по морде?

— Да, — сказал Перец твердо. — Потому что здесь так нельзя.

— Тогда поехали, — сказал Квентин, откидываясь на сиденье.

— Туз, — сказал Стоян, — полезай в машину. Если завязнем, будешь помогать выталкивать.

— У меня брюки новые, — возразил Тузик. — Давайте я лучше за баранку сяду.

Ему не ответили, и он полез на заднее сиденье и сел рядом с подвинувшимся Квентином. Перец сел рядом со Стояном, и они поехали.

Щенки ушли уже довольно далеко, но Стоян, двигаясь с большой аккуратностью правыми колесами по тропинке, а левыми — по пышному мху, догнал их и медленно пополз следом, осторожно регулируя скорость сцеплением. «Сцепление сожжете», — сказал Тузик, а потом обратился к Квентину и принялся ему объяснять, что он вообще-то ничего плохого в виду не имел, что мотоцикла у него все равно уже не было, а мужчина — это мужчина, и если у него все нормально, то он мужчиной и останется, лес там вокруг или еще что-нибудь, это безразлично… «Тебе по морде уже дали?» — спрашивал Квентин. «Нет, ты мне скажи, только не соври, дали тебе уже по морде или нет?» — спрашивал он время от времени, прерывая Тузика. «Нет, — отвечал Тузик, — нет, ты подожди, ты меня выслушай сначала…»

Перец гладил свой опухающий палец и смотрел на щенков. На детей леса. А может быть, на слуг леса. А может быть, на экскременты леса… Они медленно и неутомимо двигались колонной один за другим, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших деревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве, сквозь колючие кустарники. Тропинка исчезала, ныряла в пахучую грязь, скрывалась под наслоениями твердых серых грибов, с хрустом ломающихся под колесами, и снова появлялась, и щенки держались ее и оставались белыми, чистыми, гладкими,

ни одна соринка не прилипала к ним, ни одна колючка не ранила их, и их не пачкала черная липкая грязь. Они лились с тупой бездумной уверенностью, как будто по давно знакомой, привычной дороге. Их было сорок три.

…Я рвался сюда, и вот я попал сюда, и я наконец вижу лес изнутри, и я ничего не вижу. Я мог бы придумать все это, оставаясь в гостинице, в своем голом номере с тремя необитаемыми койками, поздним вечером, когда не спится, когда все тихо и вдруг в полночь начинает бухать баба, забивающая сваи на строительной площадке. Наверное, все, что есть здесь, в лесу, я мог бы придумать: и русалок, и бродячие деревья, и этих щенков, как они вдруг превращаются в лесопроходца Селивана, — все самое нелепое, самое святое. И все, что есть в Управлении, я могу придумать и представить себе, я мог бы оставаться у себя дома и придумать все это, лежа на диване рядом с радиоприемником, слушая симфоджазы и голоса, говорящие на незнакомых языках. Но это ничего не значит. Увидеть и не понять — это все равно что придумать. Я живу, вижу и не понимаю, я живу в мире, который кто-то придумал, не затруднившись объяснить его мне, а может быть, и себе… Тоска по пониманию, вдруг подумал Перец. Вот чем я болен — тоской по пониманию.

Он высунулся в окно и приложил ноющий палец к холодному борту. Щенки не обращали на вездеход никакого внимания. Наверное, они даже не подозревали, что он существует. От них резко и неприятно пахло, оболочка их теперь казалась прозрачной, под нею волнами двигались словно бы тени.

«Давайте поймаем одного, — предложил Квентин. — Это ведь совсем просто, закутаем в мою куртку и отвезем в лабораторию». — «Не стоит», — сказал Стоян. «А почему? — сказал Квентин. — Все равно когда-нибудь придется ловить». — «Страшно как-то, — сказал Стоян. — Во-первых, не дай бог, он сдохнет, придется писать докладную Домарощинеру…» — «Мы их варили, — сообщил вдруг Тузик. — Мне не понравилось, а ребята говорили, что ничего. На кролика похоже, а я кролика в рот не беру; по мне, что кошка, что кролик — один черт. Брезгую…» — «Я заметил одну вещь, — сказал Квентин. — Число щенков — всегда простое число: тринадцать, сорок три, сорок семь…» — «Ерунда, — возразил Стоян. — Я встречал в лесу группы по шесть, по двенадцать…» — «Так это в лесу, — сказал Квентин, — они же потом расходятся в разные стороны группами. А щенится клоака всегда простым числом, можешь проверить по журналу, у меня все выводки записаны…» — «А еще однажды, — сказал Тузик, — мы с ребятами местную девчонку поймали, вот смеху-то было!..» — «Ну что ж, пиши статью», — сказал Стоян. «Уже написал, — сказал Квентин. — Это у меня будет пятнадцатая…» — «А у меня семнадцать, — сказал Стоян, — и одна в печати. А кого ты в соавторы взял?» — «Еще не знаю, — сказал Квентин. — Ким рекомендует менеджера, говорит, что сейчас транспорт — это главное, а Рита советует коменданта…» — «Только не коменданта», — сказал Стоян. «Почему?» — спросил Квентин. «Не бери коменданта, — повторил Стоян. — Я тебе говорить ничего не буду, но имей в виду». — «Комендант кефир тормозной жидкостью разбавлял, — сказал Тузик. — Это еще когда он был заведующим парикмахерской. Так мы с ребятами ему в квартиру пригоршню клопов подбросили». — «Говорят, готовится приказ, — сказал Стоян. — У кого меньше пятнадцати статей, все пройдут спецобработку…» — «Да ну? — сказал Квентин. — Дрянь дело, знаю я эти спецобработки, от них волосы перестают расти и изо рта целый год пахнет…»

Домой, подумал Перец. Надо скорее ехать домой. Теперь мне уже здесь совсем нечего делать. Потом он увидел, как строй щенков нарушился. Перец сосчитал: тридцать два щенка пошли прямо, а одиннадцать, построившись в такую же колонну, свернули налево и вниз, где между

деревьями вдруг открылось озеро — неподвижная темная вода, совсем недалеко от вездехода. Перец увидел низкое туманное небо и смутные очертания скалы Управления на горизонте. Одиннадцать щенков уверенно направлялись к воде. Стоян заглушил двигатель, все вылезли и смотрели, как щенки переливаются через кривую корягу на самом берегу и один за другим тяжело плюхаются в озеро. По темной воде пошли маслянистые круги.

— Тонут, — сказал Квентин с удивлением. — Топятся.

Стоян достал карту и расстелил ее на капоте.

— Так и есть, — сказал он. — Не отмечено у нас это озеро. Деревня здесь отмечена, а не озеро… Вот написано: «Дерев. абориг. семнадцать дробь одиннадцать».

— Так это всегда так, — сказал Тузик. — Кто же в этом лесу по карте ездит? Во-первых, карты все враные, а во-вторых, и не нужны они тут. Тут ведь сегодня, скажем, дорога, а завтра река, сегодня болото, а завтра колючую проволоку нацепят и вышку поставят. Или вдруг обнаружится склад.

— Неохота мне что-то дальше ехать, — сказал Стоян, потягиваясь. — Может, хватит на сегодня?

— Конечно, хватит, — сказал Квентин. — Перецу еще жалованье получить надо. Пошли в машину.

— Бинокль бы, — сказал вдруг Тузик, жадно всматриваясь из-под ладони в озеро. — Баба там, по-моему, купается.

Квентин остановился.

— Где?

— Голая, — сказал Тузик. — Ей-богу, голая. Совсем без ничего.

Квентин вдруг побелел и опрометью бросился в машину.

— Да где ты видишь? — спросил Стоян.

— А вон, на том берегу…

— Ничего там нет, — сказал Квентин хрипло. Он стоял на подножке и обшаривал в бинокль противоположный берег. Руки его тряслись. — Брехун проклятый… Опять по морде захотел… Нет там ничего! — повторил он, передавая бинокль Стояну.

— Ну как это нет, — сказал Тузик. — Я вам не очкарик какой-нибудь, у меня глаз — ватерпас…

— Подожди, подожди, не рви, — сказал ему Стоян. — Что за привычка рвать из рук…

— Ничего там нет, — бормотал Квентин. — Вранье все это. Мало ли кто что болтает…

— Это я знаю — что, — сказал Тузик. — Это русалка. Точно вам говорю.

Перец встрепенулся.

— Дайте мне бинокль, — сказал он быстро.

— Ничего не видать, — сказал Стоян, протягивая ему бинокль.

— Нашли кому верить, — бормотал Квентин, постепенно успокаиваясь.

— Ей-богу, была, — сказал Тузик. — Должно быть, нырнула. Сейчас вынырнет…

Перец настроил бинокль по глазам. Он ничего не ожидал увидеть: это было бы слишком просто. И он ничего не увидел. Озерная гладь, далекий, заросший лесом берег, да силуэт скалы над зубчатой кромкой деревьев.

— А какая она была? — спросил он.

Тузик стал подробно, показывая руками, описывать, какая она была. Он рассказывал очень аппетитно и с большим азартом, но это было совсем не то, что хотел Перец.

— Да, конечно… — сказал он. — Да… Да.

Может быть, она вышла встречать щенков, думал он, трясясь на заднем сиденье рядом с помрачневшим Квентином, глядя, как мерно двигаются Тузиковы уши — Тузик что-то жевал. Она вышла из лесной чащи, белая, холодная, уверенная, и ступила в воду, в знакомую воду, вошла в озеро, как я вхожу в библиотеку, погрузилась в зыбкие зеленые сумерки и поплыла навстречу щенкам, и сейчас уже встретила их на середине озера, на дне, и повела их куда-то, зачем-то, для кого-то, и завяжется еще один узел событий в лесу, и, может быть, за много миль отсюда произойдет или начнет происходить еще что-то: закипят между деревьями клубы лилового тумана, который совсем не туман, или заработает на мирной поляне еще одна клоака, или пестрые аборигены, которые только что тихо сидели и смотрели учебные фильмы и терпеливо слушали объяснения осипшей от усердия Беатрисы Вах, вдруг встанут и уйдут в лес, чтобы никогда больше не вернуться… И все будет полно глубокого смысла, как полно смысла каждое движение сложного механизма, и все будет странно и, следовательно, бессмысленно для нас, во всяком случае, для тех из нас, кто еще никак не может привыкнуть к бессмыслице и принять ее за норму. И он ощутил значительность каждого события, каждого явления вокруг: и то, что щенков в выводке не могло быть сорок два или сорок пять, и то, что ствол вот этого дерева порос именно красным мхом, и то, что над тропинкой не видно неба из-за нависших ветвей…

Вездеход трясло, Стоян ехал очень медленно, и Перец еще издали через ветровое стекло увидел впереди покосившийся столб с доской, на которой было что-то написано. Надпись была размыта дождями и выцвела, это была очень старая надпись на очень старой грязно-серой доске, прибитой к столбу двумя огромными ржавыми гвоздями: «ЗДЕСЬ ДВА ГОДА НАЗАД ТРАГИЧЕСКИ УТОНУЛ РЯДОВОЙ ЛЕСОПРОХОДЕЦ ГУСТАВ. ЗДЕСЬ ЕМУ БУДЕТ ПОСТАВЛЕН ПАМЯТНИК». Вездеход, переваливаясь с боку на бок, миновал столб.

…Что же это ты, Густав, подумал Перец. Как это тебя угораздило тут утонуть. Здоровый ты, наверное, был парень, Густав, была у тебя обритая голова, квадратная волосатая челюсть, золотой зуб, а татуировкой ты был покрыт с ног до головы, и руки у тебя свисали ниже колен, а на правой руке не хватало пальца, откушенного в пьяной драке. И лесопроходцем тебя послало, конечно, не сердце твое, просто так уж сложились твои обстоятельства, что отсиживал ты на утесе, где сейчас Управление, положенный тебе срок, и бежать тебе было некуда, кроме как в лес. И статей ты в лесу не писал, и даже о них не думал, а думал ты о других статьях, что были написаны до тебя и против тебя. И строил ты здесь стратегическую дорогу, клал бетонные плиты и далеко по сторонам вырубал лес, чтобы могли при необходимости приземляться на эту дорогу восьмимоторные бомбовозы. Да разве лес это вытерпит? Вот и утопил он тебя на сухом месте. Но зато через десять лет тебе поставят памятник и, может быть, назовут твоим именем какое-нибудь

кафе. Кафе будет называться «У ГУСТАВА», и шофер Тузик будет там пить кефир и гладить растрепанных девчонок из местной капеллы…

У Тузика, кажется, две судимости, и почему-то совсем не за то, за что следовало бы. Первый раз он попал в колонию за кражу почтовых наборов соответствующего предприятия, а второй раз — за нарушение паспортного режима. А вот Стоян — чист. Он не пьет ни кефира, ничего. Он нежно и чисто любит Алевтину, которую никто никогда не любил нежно и чисто. Когда выйдет из печати его двадцатая статья, он предложит Алевтине руку и сердце и будет отвергнут, несмотря на свои статьи, несмотря на свои широкие плечи и красивый римский нос, потому что Алевтина не терпит чистоплюев, подозревая в них (не без основания) до непонятности утонченных развратников. Стоян живет в лесу, куда, не в пример Густаву, приехал добровольно, и никогда ни на что не жалуется, хотя лес для него — это всего лишь громадная свалка нетронутых материалов для статей, гарантирующих его от спецобработки… Можно без конца удивляться, что находятся люди, способные привыкнуть к лесу, а таких людей подавляющее большинство. Сначала лес влечет их, как место романтическое, или как место доходное, или как место, где многое позволено, или как место, где можно укрыться. Потом он немного пугает их, а потом они вдруг открывают для себя, что «здесь такой же бардак, как в любом другом месте», и это примиряет их с необыкновенностью леса, но никто из них не намерен доживать здесь до старости… Вот Квентин, по слухам, живет здесь только потому, что боится оставить без присмотра свою Риту, а Рита ни за что не хочет уезжать отсюда и никогда никому не говорит — почему… Вот я и до Риты дошел… Рита может уйти в лес и не возвращаться неделями. Рита купается в лесных озерах. Рита нарушает все распорядки, и никто не смеет делать ей замечания. Рита не пишет статей, Рита вообще ничего не пишет, даже писем. Очень хорошо известно, что Квентин по ночам плачет и ходит спать к буфетчице, когда буфетчица не занята с кем-нибудь другим… На биостанции все известно… Боже мой, по вечерам они зажигают свет в клубе, они включают радиолу, они пьют кефир, они пьют безумно много кефира и ночью, при луне, бросают бутылки в озера — кто дальше. Они танцуют, они играют в фанты и в бутылочку, в карты и в бильярд, они меняются женщинами, а днем в своих лабораториях они переливают лес из пробирки в пробирку, рассматривают лес под микроскопом, считают лес на арифмометрах, а лес стоит вокруг, висит над ними, прорастает сквозь их спальни, в душные предгрозовые часы приходит к их окнам толпами бродячих деревьев и тоже, возможно, не может понять, что они такое, и зачем они здесь, и зачем они вообще…

Хорошо, что я отсюда уезжаю, подумал он. Я здесь побыл, я ничего не понял, я ничего не нашел из того, что хотел найти, но теперь я точно знаю, что никогда ничего не пойму и что никогда ничего не найду, что всему свое время. Между мной и лесом нет ничего общего, лес ничуть не ближе мне, чем Управление. Но я, во всяком случае, не буду здесь срамиться. Я уеду, буду работать и буду ждать. И буду надеяться, что наступит время…

На дворе биостанции было пусто. Не было грузовика, и не было очереди у окошечка кассы. Только на крыльце, загораживая дорогу, стоял чемодан Переца, а на перилах веранды висел его серый плащ. Перец выбрался из вездехода и растерянно огляделся. Тузик под руку с Квентином уже шел к столовой, откуда доносился звон посуды и несло чадом. Стоян сказал: «Пошли ужинать, Перчик» — и погнал машину в гараж. Перец вдруг с ужасом понял, что все это означает: завывающая радиола, бессмысленная болтовня, кефир, и снова кефир, и опять кефир, и еще, может быть, по стаканчику? И так каждый вечер, много-много вечеров подряд…

Стукнуло окошечко кассы, высунулся сердитый кассир и закричал:

— Что же вы, Перец? Долго мне вас ждать? Идите же сюда, распишитесь.

Перец на негнущихся ногах приблизился к окошечку.

— Вот здесь — сумму прописью, — сказал кассир. — Да не здесь, а здесь. Что это у вас руки трясутся? Получайте…

Он стал отсчитывать бумажки.

— А где же остальные? — спросил Перец.

— Не торопитесь… Остальные здесь, в конверте.

— Нет, я имею в виду…

— Это никого не касается, что вы имеете в виду. Я из-за вас не могу менять установленный порядок. Вот ваше жалованье. Получили?

— Я хотел узнать…

— Я вас спрашиваю, вы получили жалованье? Да или нет?

— Да.

— Слава богу. А теперь получите премию. Получили премию?

— Да.

— Все. Разрешите пожать вашу руку, я тороплюсь. Мне нужно быть в Управлении до семи.

— Я хотел только спросить, — торопливо сказал Перец, — где все остальные люди… Ким, грузовик… Ведь меня обещали отвезти… на Материк…

— На Материк не могу, я должен быть в Управлении. Позвольте, я закрою окошко.

— Я не займу много места, — сказал Перец.

— Это неважно. Вы взрослый человек, вы должны понимать. Я — кассир. При мне ведомости. А если с ними что-нибудь случится? Уберите локоть.

Перец убрал локоть, и окошечко захлопнулось. Сквозь мутное, захватанное стекло Перец смотрел, как кассир собирает ведомости, комкает их как попало, втискивает в портфель, потом в кассе открылась дверь, вошли два огромных охранника, связали кассиру руки, накинули на шею петлю, и один повел кассира на веревке, а другой взял портфель, осмотрел комнату и вдруг заметил Переца. Некоторое время они глядели друг на друга сквозь грязное стекло, затем охранник очень медленно и осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, поставил портфель на стул и все так же медленно и осторожно, не сводя глаз с Переца, потянулся к прислоненной к стене винтовке. Перец ждал, холодея и не веря, а охранник схватил винтовку, попятился и вышел, затворив за собой дверь. Свет погас.

Тогда Перец отпрянул от окошечка, на цыпочках пробежал к своему чемодану, схватил его и кинулся прочь, куда-нибудь подальше от этого места. Он укрылся за гаражом и видел, как охранник вышел на крыльцо, держа винтовку наперевес, поглядел налево, направо, под ноги, взял с перил плащ Переца, взвесил его на руке, обшарил карманы и, еще раз оглядевшись, ушел в дом. Перец сел на чемодан.

Было прохладно, смеркалось. Перец сидел, бессмысленно глядя на освещенные окна, замазанные до половины мелом. За окнами двигались тени, бесшумно крутилась решетчатая лопасть локатора на крыше. Брякала посуда, в лесу кричали ночные животные. Потом где-то вспыхнул прожектор, повел голубым лучом, и в этот луч из-за угла дома вкатился самосвал, громыхнул, подпрыгнув на колдобине, и, провожаемый лучом, поехал к воротам. В ковше самосвала сидел охранник с винтовкой. Он закуривал, закрывшись от ветра, и видна была толстая ворсистая веревка, обмотанная вокруг его левого запястья и уходящая в приоткрытое окно кабины.

Самосвал ушел, и прожектор погас. Через двор, шаркая огромными башмаками, мрачной тенью прошел второй охранник с винтовкой под мышкой. Время от времени он нагибался и ощупывал землю, видимо, искал следы. Перец прижался взмокшей спиной к стене и, замерев, проводил его глазами.

В лесу кричали страшно и протяжно. Где-то хлопали двери. Вспыхнул свет на втором этаже, кто-то громко сказал: «Ну и духота здесь у тебя». Что-то упало в траву, округлое и блестящее, и подкатилось к ногам Переца. Перец снова замер, но потом понял, что это бутылка из-под кефира. Пешком, думал Перец. Надо пешком. Двадцать километров через лес. Плохо, что через лес. Теперь лес увидит жалкого, дрожащего человека, потного от страха и от усталости, погибающего под чемоданом и почему-то не бросающего этот чемодан. Я буду тащиться, а лес будет гукать и орать на меня с двух сторон…

Во дворе снова появился охранник. Он был не один, рядом с ним шел еще кто-то, тяжело дыша и отфыркиваясь, огромный, на четвереньках. Они остановились посреди двора, и Перец услыхал, как охранник бормочет: «На вот, на… Да ты не жри, дура, ты нюхай… Это же тебе не колбаса, это плащ, его нюхать надо… Ну? Шерше, говорят тебе…» Тот, что был на четвереньках, скулил и взвизгивал. «Э! — сказал охранник с досадой. — Тебе только блох искать… Пшла!» Они растворились в темноте. Застучали каблуки на крыльце, хлопнула дверь. Потом что-то холодное и мокрое ткнулось Перецу в щеку. Он вздрогнул и чуть не упал. Это был огромный волкодав. Он едва слышно взвизгнул, тяжко вздохнул и положил тяжелую голову Перецу на колени. Перец погладил его за ухом. Волкодав зевнул и завозился было, устраиваясь, но тут на втором этаже грянула радиола. Волкодав молча шарахнулся и ускакал прочь.

Радиола неистовствовала, на много километров вокруг не осталось ничего, кроме радиолы. И тогда, словно в приключенческом фильме, вдруг бесшумно озарились голубым светом и распахнулись ворота, и во двор, как огромный корабль, вплыл гигантский грузовик, весь расцвеченный созвездиями сигнальных огней, остановился и притушил фары, которые медленно погасли, словно испустило дух лесное чудовище. Из кабины высунулся шофер Вольдемар и стал, широко разевая рот, что-то кричать, и кричал долго, надсаживаясь, свирепея на глазах, а потом плюнул, нырнул обратно в кабину, снова высунулся и написал на дверце мелом вверх ногами: «Перец!!!» Тогда Перец понял, что машина пришла за ним, подхватил чемодан и побежал через двор, боясь оглянуться, боясь услышать за спиной выстрелы. Он с трудом вскарабкался по двум лестницам в кабину, просторную, как комната, и пока он пристраивал чемодан, пока усаживался и искал сигареты, Вольдемар все что-то говорил, багровея, надсаживаясь, жестикулируя и толкая Переца ладонью в плечо, но только когда радиола вдруг замолчала, Перец наконец услышал его голос: ничего особенного Вольдемар не говорил, он просто ругался черными словами.

Грузовик еще не успел выехать за ворота, как Перец заснул, словно к его лицу прижали маску с эфиром.

Глава седьмая

Кандид

Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели ее внизу, в котловине, их поразила тишина. Тишина была такая, что они даже не обрадовались. Деревня была треугольная, и большая поляна, на которой она стояла, тоже была треугольная — обширная глиняная проплешина без единого куста, без единой травинки, словно выжженная, а потом вытоптанная, совсем темная, отгороженная от неба сросшимися кронами могучих деревьев.

— Не нравится мне эта деревня, — заявила Нава. — Здесь, наверное, еды не допросишься. Какая здесь может быть еда, если у них и поля даже нет, одна голая глина. Наверное, это охотники, они всяких животных ловят и едят, тошнит даже, как подумаешь…

— А может быть, это мы в чудакову деревню попали? — спросил Кандид. — Может быть, это Глиняная поляна?

— Какая же это чудакова деревня? Чудакова деревня — деревня как деревня, как наша деревня, только в ней чудаки живут… А здесь смотри какая тишь, и людей не видно, и ребятишек, хотя ребятишки, может быть, уже спать легли… И почему это тут людей не видно, Молчун? Давай мы в эту деревню не пойдем, очень она мне не нравится…

Солнце садилось, и деревня внизу погружалась в сумерки. Она казалась очень пустой, но не запущенной, не заброшенной и покинутой, а именно пустой, ненастоящей, словно это была не деревня, а декорация. Да, подумал Кандид, наверное, нам не стоит туда идти, только ноги вот болят, и очень хочется под крышу. И поесть что-нибудь. И ночь наступает… Надо же, целый день блуждали по лесу, даже Нава устала, висит на руке и не отпускает.

— Ладно, — сказал он нерешительно. — Давай не пойдем.

— «Не пойдем, не пойдем…» — сказала Нава. — А когда мне есть хочется? Сколько же можно не есть? Я с утра ничего не ела… И воры твои эти… От них знаешь какой аппетит? Нет, мы давай с тобой туда спустимся, поедим, а если нам там не понравится, тогда сразу уйдем. Ночь сегодня теплая будет, без дождя… Пойдем, что ты стоишь?

Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, прямо на серой земле, сидел серый, почти совсем не одетый человек. Его было плохо видно в сумерках, он почти сливался с землей, и Кандид различил только его силуэт на фоне белой стены.

— Вы куда? — спросил человек слабым голосом.

— Нам нужно переночевать, — сказал Кандид. — А утром нам нужно на Выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу потеряли.

— Это вы, значит, сами пришли? — сказал человек вяло. — Это вы молодцы, хорошо сделали… Вы заходите, заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось… — Он еле выговаривал слова, словно засыпал. — А работать нужно. Очень нужно работать… Очень…

— Ты нас не покормишь? — спросил Кандид.

— У нас сейчас… — Человек произнес несколько слов, которые показались Кандиду знакомыми, хотя он знал, что никогда их раньше не слыхал. — Это хорошо, что мальчик пришел, потому что мальчик… — И он опять заговорил непонятно, странно.

Нава потянула Кандида, но Кандид с досадой выдернул руку.

— Я тебя не понимаю, — сказал он человеку, стараясь хоть рассмотреть его получше. — Ты мне скажи, еда у тебя найдется?

— Вот если бы трое… — сказал человек.

Нава потащила Кандида прочь изо всех сил, и они отошли в сторону.

— Больной он, что ли? — сказал Кандид сердито. — Ты поняла, что он там бормочет?

— Что ты с ним разговариваешь? — шепотом спросила Нава. — У него же нет лица! Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?

— Почему нет лица? — удивился Кандид и оглянулся. Человека видно не было: то ли он ушел, то ли растворился в сумерках.

— А так, — сказала Нава. — Глаза есть, рот есть, а лица нету… — Она вдруг прижалась к нему. — Он как мертвяк, — сказала она. — Только он не мертвяк, от него пахнет, но весь он — как мертвяк… Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.

Она подтащила его к следующему дому, и они заглянули внутрь. Все в этом доме было непривычное, не было постелей, не было запахов жилья, внутри было пусто, темно, неприятно. Нава понюхала воздух.

— Здесь вообще никогда не было еды, — сказала она с отвращением. — В какую-то ты меня глупую деревню привел, Молчун. Что мы здесь будем делать? Я таких деревень никогда в жизни не видела. И дети тут не кричат, и на улице никого нет.

Они пошли дальше. Под ногами была прохладная тонкая пыль, они не слышали даже собственных шагов, и в лесу не ухало и не булькало, как обычно по вечерам.

— Странно он как-то говорил, — сказал Кандид. — Я вот сейчас вспоминаю, и словно я слышал уже когда-то такую речь… А когда, где — не помню…

— И я тоже не помню, — сказала Нава, помолчав. — А ведь верно, Молчун, я тоже слыхала такие слова, может быть, во сне, а может быть, и в нашей деревне, не в той, где мы сейчас с тобой живем, а в другой, где я родилась, только тогда это должно быть очень давно, потому что я была еще очень маленькая, с тех пор все позабыла, а сейчас как будто бы и вспомнила, но никак не могу вспомнить по-настоящему.

В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии, он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно блестели.

— Спит, — сказал Кандид, поворачиваясь к Наве.

— Как же спит, — сказала Нава, — когда он смотрит?

Кандид снова нагнулся над человеком, и ему показалось, что тот действительно смотрит, чуть-чуть приоткрыв веки. Но только показалось.

— Да нет, спит он, — сказал Кандид. — Пойдем.

Против обыкновения Нава промолчала.

Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и почти в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные потные мужчины, не было ни одной женщины, ни одного ребенка. Нава совсем замолчала, и Кандиду тоже было не по себе. У спящих раскатисто бурчало в животах, они не просыпались, но каждый раз, когда Кандид оглядывался на них, выходя на улицу, ему казалось, что они провожают его короткими осторожными взглядами.

Совсем стемнело, в просветы между ветвями проглядывало пепельное от луны небо, и Кандид снова подумал, что все это жутко похоже на декорации в хорошем театре. Но он чувствовал, что устал до последней степени, до полного безразличия. Ему хотелось сейчас только одного: прилечь где-нибудь под крышей (чтобы не свалилась на сонного сверху какая-нибудь ночная гадость), пусть прямо на жестком утоптанном полу, но лучше все-таки в пустом доме, а не с этими подозрительными спящими. Нава совсем повисла на руке.

— Ты не бойся, — сказал ей Кандид. — Бояться здесь совершенно нечего.

— Что ты говоришь? — спросила она сонно.

— Я говорю: не бойся, они же тут все полумертвые, я их одной рукой раскидаю.

— Никого я не боюсь, — сказала Нава сердито. — Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь, из дома в дом, из дома в дом, надоело даже, ведь во всех домах все одинаково, все люди уже лежат, отдыхают, и только мы с тобой бродим…

Тогда Кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услыхал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала. Не пожалеть бы, подумал он, нехорошо здесь… Ну, всего одну ночь… И дорогу спросить… Днем-то они не спят… В крайнем случае — на болото, воры ушли… А если и не ушли… Как там ребята на Выселках?.. Неужели опять послезавтра?.. Нет уж, завтра… Завтра…

Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно, лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив, но потом он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может, и тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кандиду, и глядел в окно, и по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители — им просто незачем так стоять — и как любил стоять у окна лаборатории во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл Этингоф, и он отчетливо понял, что это и есть Карл Этингоф, который когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не вернулся и был отдан в приказ как без вести

пропавший. Он задохнулся от волнения и крикнул: «Карл!» Карл медленно повернулся, лиловый свет прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек, он неслышно подошел к Кандиду и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной, и лицо его стало видно совершенно отчетливо, изможденное безбородое лицо, решительно ничем не напоминающее лицо Карла. Он не произнес ни слова и, кажется, даже не увидел Кандида, выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь, и, когда он перешагивал через порог, Кандид понял, что это все-таки Карл, вскочил и выбежал за ним следом.

За дверью он остановился и оглядел улицу, стараясь унять болезненную нервную дрожь, охватившую вдруг его. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо, все дома выглядели совсем уже плоскими и совсем ненастоящими, а наискосок на другой стороне улицы возвышалось длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает, и возле него двигались люди. Человек, похожий на Карла, шел один к этому строению, приблизился к толпе и смешался с нею, исчез в ней, как будто его никогда и не было. Кандид тоже хотел подойти к строению, но почувствовал, что ноги у него ватные и он совсем не может идти. Он удивился, как это он еще может стоять на таких ногах; боясь упасть, он хотел ухватиться за что-нибудь, но ухватиться было не за что, его окружала пустота. «Карл, — бормотал он, шатаясь, — Карл, вернись!» Он повторил эти слова несколько раз, а потом в отчаянии громко выкрикнул их, но никто его не услышал, потому что в то же мгновение раздался гораздо более громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так что зазвенело в ушах, так что слезы навернулись на глаза, и почему-то он сразу понял, что кричат именно в этом длинном строении, может быть потому, что больше кричать было негде. «Где Нава? — закричал он. — Девочка моя, где ты?» Он понял, что сейчас потеряет ее, что настала эта минута, что сейчас потеряет все близкое ему, все, что привязывает его к жизни, и он останется один. Он повернулся, чтобы броситься обратно в дом, и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь, и он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами, то место, где у всех людей ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки, и он больше никогда их не увидит. Ведь плач не прекратился, и он понимал, что ему нужно туда, где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет ее туда, но он знал также, что для НИХ это никакой не подвиг, а совершенно естественная нормальная процедура, потому что они не понимали, что это значит — держать на руках дочь, теплую и единственную, и самому нести ее туда, где плачут.

Крик оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым строением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с ними Карл, все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, разговаривая. Он видел, как шевелятся их губы, и догадывался, что они спорят, что они раздражены, но он не понимал слов, только раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». Потом одна из женщин, не прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно приглашая всех войти в строение. Кандид сказал: «Сейчас, сейчас…» И еще крепче прижал к себе Наву. Снова раздался громкий плач, все вокруг зашевелились, жирные люди стали обнимать друг друга, прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга, глаза их были сухи и губы плотно сжаты, но это они плакали и кричали, прощаясь, потому что, оказывается, это были мужчины и женщины, и мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решался пойти первым, и тогда первым пошел Кандид, потому что он был мужественный человек, потому что он знал, что такое «надо», потому что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на него и едва заметно мотнул головой в сторону, и ему стало невыносимо жутко, потому что это был все-таки не Карл, но он понял и попятился, толкая спиной

мягкое и скользкое. И когда Карл снова мотнул головой, он повернулся, вскинул Наву на плечо и по пустой освещенной улице, как во сне, побежал на мягких подгибающихся ногах, не слыша за собой топота преследователей.

Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава.

Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.

— Что-то я ничего не помню, — проговорила Нава. — Почему это мы здесь? Мы ведь уже спать легли. Или это мне все снится?

Кандид поднял ее и понес дальше, дальше, дальше, продираясь сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Вокруг была высокая теплая трава, сырости совсем не чувствовалось, никогда еще в лесу Кандиду не попадалось такое сухое благодатное место. Голова у него болела, и все время клонило в сон, не хотелось ни о чем думать, было только чувство огромного облегчения оттого, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.

— Молчун, — сказала Нава сонным голосом, — ты знаешь, Молчун, я все-таки вспомнила, где я слыхала раньше такую речь. Это ты так сам говорил, Молчун, когда еще был без памяти. Слушай, Молчун, а может, ты из этой деревни родом? Может, ты просто забыл? Ты ведь очень больной был тогда, Молчун, совсем без памяти…

— Спи, — сказал Кандид. Ему не хотелось думать. Ни о чем не хотелось думать. Хиазма, вспомнил он. И сразу заснул.

Не совсем сразу. Он еще вспомнил, что это не Карл пропал без вести; без вести пропал Валентин, и отдавали в приказ Валентина, а Карл погиб в лесу, и тело его, найденное случайно, положили в свинцовый гроб и отправили на Материк. Но он подумал, что это ему снится.

Когда он открыл глаза, Нава еще спала. Она лежала на животе в углублении между двумя корнями, уткнувшись лицом в сгиб левой руки, а правую откинув в сторону, и Кандид увидел в ее грязном полураскрытом кулачке тонкий блестящий предмет. Сначала он не понял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи, и свой страх, и свое облегчение оттого, что не произошло чего-то ужасного. А потом до него дошло, что это за предмет, и даже название его неожиданно всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета звучанию этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего, что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель своей формой и своим названием чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву.

Нава проснулась, села и сейчас же заговорила:

— Какое сухое место, никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места, и как здесь только трава растет, а, Молчун?.. — Она замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, судорожно отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно. — Что это такое, Молчун? — сказала наконец Нава шепотом. — Какая страшная вещь…

Или это, может быть, не вещь? Это, может быть, растение? Смотри, здесь все какое сухое, — может быть, оно здесь выросло.

— А почему — страшная? — спросил Кандид.

— Еще бы не страшная, — сказала Нава. — Ты возьми его в руки… Ты попробуй, попробуй возьми, тогда и будешь знать, почему страшная… Я сама не знаю, почему страшная…

Кандид взял скальпель. Скальпель был еще теплым, а острый кончик его холодил, и, осторожно ведя по скальпелю пальцем, можно было найти то место, где он перестает быть теплым и становится холодным.

— Где ты его взяла? — спросил Кандид.

— Да нигде я его не брала, — сказала Нава. — Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный? Он, наверное, захотел согреться и залез ко мне в руку. Я никогда не видела таких… такого… Я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это все-таки не растение, наверное, это такая тварь, может быть, у него и ножки есть, только он их спрятал, и он такой твердый и злобный… А может быть, мы спим еще с тобой, Молчун? — Она вдруг запнулась и посмотрела на Кандида. — А мы в деревне сегодня ночью были? Ведь были же, там еще человек был без лица, и он все думал, что я — мальчик… А мы искали, где поспать… Да, а потом я проснулась, тебя не было, и я стала шарить рукой… Вот где он мне залез в кулак! — сказала она. — Только вот что удивительно, Молчун, я совсем его тогда не боялась, даже наоборот… Он мне даже был для чего-то нужен…

— Все это был сон, — решительно сказал Кандид. У него мурашки бежали по затылку. Он вспомнил все, что было ночью. И Карла. И как он незаметно мотнул головой: беги, пока цел. И то, что живой Карл был хирургом.

— Что это ты замолчал, Молчун? — с беспокойством спросила Нава, заглядывая ему в лицо. — Куда это ты смотришь?

Кандид отстранил ее.

— Это был сон, — строго повторил он. — Забудь. Поищи лучше какой-нибудь еды, а эту штуку я закопаю.

— А для чего он был мне нужен, ты не знаешь? — спросила Нава. — Что-то я должна была сделать… — Она помотала головой. — Я не люблю таких снов, Молчун, — сказала она. — Ничего не вспомнить. Ты его поглубже закопай, а то он выберется и снова заползет в деревню и кого-нибудь там напугает… Хорошо бы сверху камень на него положить потяжелее… Ну, ты закапывай, а я пойду искать еду. — Она потянула носом воздух. — Где-то тут поблизости есть ягоды. Удивительно, откуда в таком сухом месте ягоды?

Она легко и бесшумно побежала по траве и скоро пропала за деревьями, а Кандид остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все и тем не менее ничего не мог понять. Это был какой-то странный и страшный сон, из которого по чьему-то недосмотру вывалился скальпель. Жалко, подумал он, сегодня голова у меня на редкость ясная, и все-таки я ничего не могу понять. Значит, никогда не смогу.

Нава быстро вернулась и выгребла из-за пазухи целую груду ягод и несколько крупных грибов.

— Там есть тропа, Молчун, — сказала она. — Давай мы с тобой лучше не будем возвращаться в ту деревню, зачем она нам, ну ее… А пойдем мы с тобой по тропе, обязательно куда-нибудь да придем. Спросим там дорогу до Выселок, и все будет хорошо. Просто удивительно, как мне сейчас хочется попасть на эти Выселки, никогда раньше так не хотелось. А в эту лукавую деревню давай мы не будем возвращаться, мне там сразу не понравилось, правильно, что мы оттуда ушли, а то бы обязательно какая-нибудь беда случилась. Если хочешь знать, нам туда и приходить не надо было, тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь, да ты ведь никогда никого не слушаешься. Вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали… Что же ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные, ты их разотри на ладони, сделай крошенку, что ты как маленький сегодня? Я теперь вспоминаю, мама мне всегда говорила, что самые хорошие грибы растут там, где сухо, но я тогда не понимала, что это такое — сухо, мама говорила, что раньше много где было сухо, как на хорошей дороге, поэтому она понимала, а я вот не понимала…

Кандид попробовал гриб и съел его. Грибы действительно были хороши, и ягоды были хороши, и он почувствовал себя бодрее. Но он еще не знал, как теперь поступить. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутиком на земле Колченог, и вспомнил, что Колченог говорил о дороге в Город, которая должна проходить в этих самых местах. Очень хорошая дорога, говорил Колченог с сожалением, самая прямая дорога до Города, только не добраться нам до нее через трясину-то, вот беда… Врал. Врал хромой. И по трясине ходил, и в Городе, наверное, был, но почему-то врал. А может, Навина тропа и есть та прямая дорога? Надо рискнуть. Но сначала нужно все-таки вернуться. В эту деревню нужно все-таки вернуться…

— Придется все-таки вернуться, Нава, — сказал он, когда они поели.

— Куда вернуться? В ту лукавую деревню вернуться? — Нава расстроилась. — Ну зачем ты мне это говоришь, Молчун? Чего мы в той деревне еще не видели? Вот за что я тебя не люблю, Молчун, так это что с тобой никогда не договоришься по-человечески… И ведь решили уже, что возвращаться в ту деревню больше не станем, и тропу я тебе нашла, а теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться…

— Придется вернуться, — повторил он. — Мне самому не хочется, Нава, но сходить туда надо. Вдруг нам объяснят там, как отсюда быстрее попасть в Город.

— Почему — в Город? Я не хочу в Город, я хочу на Выселки!

— Пойдем уж прямо в Город, — сказал Кандид. — Не могу я больше.

— Ну хорошо, — сказала Нава. — Хорошо, пойдем в Город, это даже лучше, чего мы не видели на этих Выселках? Пойдем в Город, я согласна, я с тобой везде согласна, только давай не возвращаться в ту деревню… Ты как хочешь, Молчун, а я бы в ту деревню никогда бы не возвращалась…

— Я бы тоже, — сказал он. — Но придется. Ты не сердись, Нава, ведь мне самому не хочется…

— А раз не хочется, так зачем ходить?

Он не хотел, да и не мог ей объяснить — зачем. Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня, — по теплой сухой траве, мимо теплых сухих стволов,

жмурясь от теплого солнца, которого непривычно много было здесь, навстречу пережитому ужасу, от которого больно напрягались все мускулы, навстречу тихой странной надежде, которая пробивалась сквозь ужас, как травинка сквозь трещину в асфальте.

Нава догнала его и пошла рядом. Она была сердита и некоторое время даже молчала, но в конце концов не выдержала.

— Только ты не думай, — заявила она, — я с этими людьми разговаривать не буду, ты теперь с ними сам разговаривай, сам туда идешь, сам и разговаривай. А я не люблю иметь дело с человеком, если у него даже лица нет, я этого не люблю. От такого человека хорошего не жди, если он мальчика от девочки отличить не может… У меня вот с утра голова болит, и я теперь знаю почему…

Они вышли на деревню неожиданно. Видимо, Кандид взял слишком в сторону, и деревня открылась между деревьями справа от них. Все здесь изменилось, но Кандид не сразу понял, в чем дело. Потом понял: деревня тонула.

Треугольная поляна была залита черной водой, и вода прибывала на глазах, наполняя глиняную впадину, затопляя дома, бесшумно крутясь на улицах. Кандид беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разваливаются размокшие стены, проваливаются крыши, и никто не выбегал из домов, никто не пытался добраться до берега, ни один человек не показывался на поверхности воды, может быть, людей там и не было, может быть, они ушли этой ночью, но он чувствовал, что это не так просто. Это не деревня, подумалось ему, это макет, он стоял, всеми забытый и запылившийся, а потом кому-то стало любопытно, что будет, если залить это водой. Вдруг станет интересно?.. И залили. Но интересно не стало…

Плавно прогнувшись, бесшумно канула в воду крыша плоского строения. Над черной водой словно пронесся легкий вздох, по ровной поверхности побежали волны, и все кончилось. Перед Кандидом было обычное треугольное озеро, пока еще довольно мелкое и безжизненное. Потом оно станет глубоким, как пропасть, и в нем заведутся рыбы, которых мы будем ловить, препарировать и класть в формалин.

— Я знаю, как это называется, — сказала Нава. У нее был такой спокойный голос, что Кандид поглядел на нее. Она и в самом деле была совершенно спокойна и даже, кажется, довольна. — Это называется Одержание, — сказала она. — Вот почему у них не было лица, а я сразу и не поняла. Наверное, они хотели жить в озере. Мне рассказывали, что те, кто жили в домах, могут остаться и жить в озере, теперь тут всегда будет озеро, а кто не хочет, тот уходит. Я бы вот, например, ушла, хотя это, может быть, даже лучше — жить в озере. Но этого никто не знает… Может быть, искупаемся? — предложила она.

— Нет, — сказал Кандид. — Я не хочу здесь купаться. Пойдем на твою тропу. Идем.

Мне бы только выбраться отсюда, думал он, а то я как та машинка в лабиринте… Мы все стояли вокруг и смеялись, как она деловито тычется, ищет, принюхивается… А потом в маленький бассейн на ее дороге наливали воду, и она трогательно терялась, но только на мгновение, и снова начинала деловито шевелить антеннами, жужжать и принюхиваться, и она не знала, что мы на нее смотрим, а нам было, в общем, наплевать на то, что она не знает, хотя именно это, наверное, страшнее всего. Если это вообще страшно, подумал он. Необходимость не может быть ни страшной, ни доброй. Необходимость необходима, а все остальное о ней придумываем мы… и машинки в лабиринтах, если они могут придумывать. Просто, когда мы ошибаемся,

необходимость берет нас за горло, и мы начинаем плакать и жаловаться, какая она жестокая да страшная, а она просто такая, какая она есть, — это мы глупы или слепы. Я даже могу философствовать сегодня, подумал он. Наверное, это от сухости. Надо же, даже философствовать могу…

— Вот она, твоя тропа, — сердито сказала Нава. — Иди, пожалуйста.

Сердится, подумал он. Выкупаться не дал, молчу все время, вокруг сухо, неприятно… Ничего, пусть посердится. Пока сердится — молчит, и на том спасибо. Кто ходит по этим тропам? Неужели по ним ходят так часто, что они не зарастают? Странная какая-то тропа, словно она не протоптана, а выкопана…

Тропа вначале шла по удобным сухим местам, но через некоторое время она круто спустилась по склону холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, опять потянулись болота, заросли моха, сделалось сыро и душно. Нава немедленно ожила. Здесь она чувствовала себя гораздо лучше. Она уже непрерывно говорила, и скоро в голове Кандида возник и установился привычный звенящий шум, и он двигался словно в полусне, забыв обо всякой философии, почти забыв даже о том, куда он идет, отдавшись случайным бессвязным мыслям, и скорее даже не мыслям, а представлениям.

…Ковыляет по главной улице Колченог и говорит всем встречным (а если встречных нет, то просто так), что вот ушел, значит, Молчун и Нава с собой забрал, в Город, наверное, ушел, а Города никакого и нет. А может, и не в Город, может, в Тростники ушел, в Тростниках хорошо рыбу подманивать, сунул пальцы в воду — и вот она, рыба. Да только, если подумать, зачем ему рыба, не ест Молчун рыбу, дурак, хотя, может, решил для Навы рыбки наловить, Нава рыбу ест, вот он ее и будет кормить рыбой… Но вот зачем он тогда все время про Город спрашивал? Не-ет, не в Тростники он пошел, и нужно ожидать, что не скоро вернется…

А навстречу ему по главной улице идет Кулак и говорит всем встречным, что вот Молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорил, в Город, Кулак, послезавтра пойдем, целый год звал послезавтра в Город идти, а когда я еды наготовил невпроворот, что старуха ругается, тогда он без меня и без еды ушел… Один вот тоже, шерсть на носу, уходил-уходил без еды, дали ему в лоб как следует, так больше не уходит, и с едой не уходит, и без еды боится, дома сидит, так ему дали…

А Хвост стоит рядом с завтракающим у него дома старцем и говорит ему: опять ты ешь, и опять ты чужое ешь. Ты не думай, говорит, мне не жалко, я только удивляюсь, как это в одного такого тощего старика столько горшков самой сытной еды помещается. Ты ешь, говорит, но ты мне скажи, может быть, ты все-таки не один у нас в деревне? Может быть, вас все-таки трое или хотя бы двое? Ведь на тебя смотреть жутко, как ты ешь-ешь, наешься, а потом объясняешь, что нельзя…

Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и с азартом рассказывала:

— И еще жил в этой нашей деревне один мужчина, которого звали Обида-Мученик, ты его не можешь помнить, ты тогда как раз без памяти был. А этот Обида-Мученик всегда на все обижался и спрашивал: почему? Почему днем светло, а ночью темно? Почему жуки хмельные бывают, а муравьи нет? Почему мертвяки женщинами интересуются, а мужчины им не нужны? У него мертвяки двух жен украли, одну за другой. Первую еще до меня украли, а вторую уже при мне, так он все ходил и спрашивал, почему, спрашивал, они его не украли, а украли жену… Нарочно целыми днями и ночами по лесу ходил, чтобы его тоже угнали и он бы своих жен нашел, хотя бы

одну, но его, конечно, так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни к чему, им женщины нужны, так уж у них заведено, и из-за какого-то Обиды-Мученика они порядков своих менять не подумали… Еще он все спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь — поливай бродилом и ешь. Староста ему говорит: не хочешь — не работай, никто тебя за руку не тянет… А тот знай все твердит: почему да почему… Или к Кулаку пристал. Почему, говорит, Верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает? Кулак ему сначала спокойно объясняет: у верхних Одержание произошло, а у нас еще нет, и весь вопрос. А тот спрашивает: а почему же у нас Одержание не происходит так долго? Да что тебе это Одержание, спрашивает Кулак, что ты без него — соскучился? Не отстает Обида-Мученик. Измотал он Кулака, закричал Кулак громко на всю деревню, кулаками замахал и побежал к старосте жаловаться, староста тоже рассердился, собрал деревню, и погнались они за Обидой-Мучеником, чтобы его наказать, да так и не поймали… И к старику он тоже приставал много раз. Старик сначала к нему есть перестал ходить, потом стал от него прятаться и наконец не выдержал: отстань ты, говорит, от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет, откуда я знаю — почему? Город знает почему, и все. Пошел Обида-Мученик в Город и больше уже не возвращался…

Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна, глухо фукали созревшие дурман-грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор, с воем налетела заблудившаяся лесная оса, старалась ударить в глаз, и пришлось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться; шумно и хлопотливо, цепляясь за лианы, мастерили свои постройки разноцветные подводные пауки; деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями, — и не на чем было остановить взгляд, нечего было запоминать. И не над чем было думать, потому что думать о Карле, о прошлой ночи и затонувшей деревне означало — бредить.

— …Обида-Мученик был добрый человек, это они с Колченогом нашли тебя за Тростниками. Пошли в Муравейники, да как-то их занесло в Тростники, и нашли они там тебя и притащили, вернее, тащил тебя Обида-Мученик, а Колченог только сзади шел да подбирал все, что из тебя вываливалось. Много он чего подобрал, а потом, рассказывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такое, рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом Обида-Мученик одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда, никто не мог понять, где такое растет и как… Так он эту одежду разрезал и рассадил, думал — вырастет. Но ничего у него не выросло, не взошло даже, и опять он стал ходить по деревне и спрашивать: почему если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, Молчун, даже и не взошла… Он и к тебе много приставал, жить тебе не давал, но ты тогда без памяти был и только бормотал что-то, вроде как тот, без лица, и рукой заслонялся. Так он от тебя и отстал ни с чем. Потом еще многие мужики за Тростники ходили — и Кулак, и Хвост, и сам староста даже ходил, — надеялись еще одного такого найти. Нет, не нашли… Тогда меня к тебе и приставили. Выхаживай, говорят, как можешь, выходишь — будет тебе муж, а что он чужой — так ты тоже вроде чужая. Я ведь тоже чужая, Молчун. Как было дело: захватили нас с матерью мертвяки, а ночь была без луны…

Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лес стал чище. Уже не видно было коряг, гнилых сучьев, завалов гниющих лиан. Пропала зелень, все вокруг сделалось желтым и оранжевым. Деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное — ровное, без моха и без грязевых куч. Исчезла паутина зарослей, направо и налево стало видно далеко. И трава на обочинах стала мягче и сочнее, травинка к травинке, словно кто-то специально подбирал и высаживал.

Нава остановилась на полуслове, потянула носом воздух и деловито сказала, оглядываясь:

— Куда бы здесь спрятаться? Спрятаться-то, кажется, и некуда…

— Кто-нибудь идет? — спросил Кандид.

— Кого-то много, и я не знаю, кто это… Это не мертвяки, но лучше бы все-таки спрятаться. Можно, конечно, не прятаться, все равно они уже близко, да и спрятаться здесь негде. Давай на обочину станем и посмотрим… — Она еще раз потянула носом. — Скверный какой-то запах, не то чтобы опасный, а лучше бы его не было… А ты, Молчун, неужели ничего не чуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бродила — стоит горшок у тебя перед носом, а в нем перепрелое бродило с плесенью… Вон они! Э, маленькие, не страшно, ты их сейчас прогонишь… Гу-гу-гу!

— Помолчи, — сказал Кандид, всматриваясь.

Сначала ему показалось, что навстречу ползут по тропинке белые черепахи. Потом он понял, что таких животных видеть ему еще не приходилось. Они были похожи на огромных непрозрачных амеб или на очень молодых древесных слизней, только у слизней не было ложноножек, и слизни были все-таки побольше. Их было много, они ползли гуськом друг за дружкой, довольно быстро, ловко выбрасывая вперед ложноножки и переливаясь в них.

Скоро они оказались совсем близко — белые, блестящие, и Кандид тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил с тропы на обочину, потянув за собой Наву. Слизни-амебы один за другим проползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказалось всего двенадцать, и последнего, двенадцатого, Нава, не удержавшись, пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался скачками. Нава пришла в восторг и кинулась было догнать и пнуть еще разок, но Кандид поймал ее за одежду.

— Так они же такие потешные! — сказала Нава. — И так ползут, будто люди идут по тропинке… И куда это они, интересно, идут? Наверное, Молчун, они в ту лукавую деревню идут, они, наверное, оттуда, а теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже Одержание произошло. Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, бедные, пойдут? Может, другую деревню искать?.. Эй! — закричала она. — Не ходите! Нет уже вашей деревни, одно озеро там!

— Помолчи, — сказал Кандид. — Пойдем. Не понимают они твоего языка, не кричи зря.

Они пошли дальше. После слизней тропинка казалась немножко скользкой. Встретились и разошлись, подумал Кандид. Встретились и разминулись. И я уступил дорогу. Я, а не они. Это обстоятельство вдруг показалось ему очень важным. Они маленькие и беззащитные, а я большой и сильный, но я сошел с тропинки и пропустил их, и теперь думаю о них, а они прошли и теперь уже, наверное, обо мне не помнят. Потому что в лесу они дома, и мало ли что встречается в лесу. Как в доме бывают тараканы, клопы, мокрицы, или залетит безмозглая бабочка. Или муха станет биться в стекло… А ведь это неправда, что мухи бьются в стекло. Мухи-то воображают, что они летят, когда бьются в стекло. А я воображаю, что я иду. Только потому, что передвигаю ногами… Наверное, смотреть на меня со стороны смешно и… как это сказать… жалостно… жалко… Как будет правильно…

— Скоро будет озеро, — сказала Нава. — Пойдем скорее, я хочу пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь…

Они пошли быстрее. Начались заросли тростника. Ну хорошо, думал Кандид, на муху я похож. А на человека я похож? Он вспомнил Карла и вспомнил, что Карл не был похож на Карла. Очень может быть, подумал он спокойно. Очень может быть, что я совсем не тот человек, который сколько-то там лет назад разбился на вертолете. Только тогда непонятно, зачем мне биться о стекло. Ведь Карл, наверное, когда с ним случилось это, уже не бился о стекло. А странно будет, когда я выйду к биостанции, и они меня увидят. Хорошо, что я об этом подумал. Об этом мне нужно много и основательно думать. Хорошо, что времени еще много и что я еще не скоро выйду к биостанции…

Тропа раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру, а другая круто свернула куда-то в сторону.

— Не пойдем туда, — сказала Нава, — это вверх, а я пить хочу.

Тропа становилась все уже, потом превратилась в рытвину и окончательно заглохла в зарослях. Нава остановилась.

— Знаешь, Молчун, — сказала она, — а может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится, чего-то там не так. По-моему, это даже не озеро, чего-то там еще много, кроме воды…

— Но ведь вода там есть? — спросил Кандид. — Ты же пить хотела. Да и я тоже не прочь…

— Вода есть, — неохотно признала Нава. — Но теплая. Плохая вода. Нечистая… Знаешь что, Молчун, ты здесь постой, а то больно шумно ты ходишь, ничего из-за тебя не слыхать, так ты шумишь, ты постой и подожди меня, а я тебя позову, крикну прыгуном. Знаешь, как прыгун кричит? Вот я прыгуном и крикну. А ты здесь постой или лучше даже посиди…

Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда Кандид обратил внимание на глухую, ватную тишину, царившую здесь. Не было ни звона насекомых, ни вздохов и сопения болота, ни криков лесного зверья, сырой горячий воздух был неподвижен. Это не была сухая тишина лукавой деревни, там было тихо, как ночью за кулисами театра. А здесь было тихо, как под водой. Кандид осторожно присел на корточки, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобна. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду, он был прохладен и солоноват на вкус. Сыр, подумал Кандид. Да, сыр… Что такое сыр? Сыр швейцарский, сыр плавленый. Сыр со слезой. Странно…

Потом из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела рядом и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.

— Это хорошо, что мы здесь поели, — сказала она наконец. — Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченог всегда рассказывает, только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это, оказывается, правда, хотя мне, может быть, тоже привиделось…

— Пойдем посмотрим, — сказал Кандид.

Озеро оказалось шагах в пятидесяти. Кандид и Нава спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым слоем лежал белый туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Пахло едой. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Кандид почувствовал, что у него кружится голова. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то снова застилая изжелта-белые тела, запрокинутые лица, — люди не

плавали, люди лежали на воде, как на пляже. Кандида передернуло. «Уйдем отсюда», — прошептал он и потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на тропу.

— Никакие это не утопленники, — сказала Нава. — Колченог ничего не разобрал, просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все они сварились… Очень это страшно, Молчун, — сказала она, помолчав. — Мне даже говорить об этом не хочется… А как их там много, целая деревня…

Они дошли до того места, где тропа раздваивалась, и остановились.

— Теперь вверх? — спросила Нава.

— Да, — сказал Кандид. — Теперь вверх.

Они свернули направо и стали подниматься по склону.

— И все они женщины, — сказала Нава. — Ты заметил?

— Да, — сказал Кандид.

— Вот это самое страшное, вот это я никак не могу понять. А может быть… — Нава посмотрела на Кандида. — А может быть, их мертвяки туда загоняют? Наверное, их мертвяки туда загоняют — наловят по всем деревням, пригонят к этому озеру и варят… Слушай, Молчун, зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого никогда не видели. Думали бы, что это Колченог выдумывает, жили бы спокойно, так нет, тебе вот понадобилось в Город идти… Ну зачем тебе понадобилось в Город идти?

— Не знаю, — сказал Кандид.

Глава восьмая

Кандид

Они лежали в кустах на самой опушке и сквозь листву глядели на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, дул порывистый ветер и гнал серые тучи, моросил дождь. Лиловый туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было довольно прохладно, даже свежо, они промокли, ежились от озноба и стучали зубами, но уйти они уже не могли: в двадцати шагах, прямые, как статуи, стояли с широко раскрытыми черными ртами три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мертвяки подошли пять минут назад. Нава почуяла их и рванулась было бежать, но Кандид зажал ей рот ладонью и вдавил ее в траву. Теперь она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью, но уже не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм.

На холме и вокруг холма происходило что-то странное, какие-то грандиозные приливы и отливы. Из леса с густым басовым гудением вдруг вырывались исполинские стаи мух, устремлялись к вершине холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев и пауков, из кустарников выливались сотни слизней-амеб, гигантские рои пчел и ос, тучи многоцветных жуков

уверенно проносились под дождем. Поднимался шум, как от бури. Эта волна поднималась к вершине, всасывалась в лиловое облако, исчезала, и тогда вдруг наступала тишина. Холм снова становился мертвым и голым, а потом проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни оставались на вершине, но зато вместо них по склонам ссыпа́лись самые невероятные и неожиданные животные: катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды и еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, пестрые, многоглазые, голые, блестящие не то звери, не то насекомые… И снова наступала тишина, и снова все повторялось сначала, и опять, и опять, в пугающем напористом ритме, с какой-то неубывающей энергией, так что казалось, будто это было всегда и всегда будет в том же ритме и с той же энергией… Один раз из тумана со страшным ревом вылез молодой гиппоцет, несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собой белесые полосы остывающего пара. А лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало, глотало и выплевывало неустанно и регулярно, как машина.

…Колченог говорил, что Город стоит на холме. Может быть, это и есть Город, может быть, это они и называют Городом. Да, наверное, это Город. Только в чем его смысл? Зачем он? И эта странная деятельность… Я ждал чего-нибудь в этом роде… Ерунда, ничего такого я не ждал. Я думал только о хозяевах, а где они здесь — хозяева? Кандид посмотрел на мертвяков. Те стояли в прежних позах, и рты их были все так же раскрыты. Может быть, я ошибаюсь, подумал Кандид. Может быть, они и есть хозяева. Наверное, я все время ошибаюсь. Я совсем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются мысли, то сразу оказывается, что я совершенно не способен их связать… Из тумана не вышел еще ни один слизень. Вопрос: почему из тумана не вышел еще ни один слизень?.. Нет, не то. Надо по порядку. Я же ищу источник разумной деятельности… Неверно, опять неверно. Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу кого-нибудь, чтобы мне помогли вернуться домой. Чтобы мне помогли преодолеть тысячу километров леса. Чтобы мне хотя бы сказали, в какую сторону идти… У мертвяков должны быть хозяева, я ищу этих хозяев, я ищу источник разумной деятельности. Он немного приободрился: получалось вполне связно. Начнем с самого начала. Все продумаем спокойно и неторопливо. Сейчас не надо торопиться, сейчас самое время все продумать спокойно и неторопливо. Начнем с самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мертвяки — это не люди, потому что мертвяки — это не животные. Следовательно, мертвяки сделаны. Если они не люди… А почему, собственно, они не люди? Он потер лоб. Я же уже решал этот вопрос. Давно, еще в деревне. Я его даже два раза решал, потому что в первый раз я забыл решение, а сейчас я забыл доказательства…

Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на него. Он затих и некоторое время полежал неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву.

…Почему они не животные — я уже тоже доказал когда-то… Высокая температура… Да нет, ерунда… Он вдруг с ужасом ощутил, что забыл даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на мертвяков. Да. Думать мне нельзя, думать мне противопоказано, и именно сейчас, когда я должен думать интенсивнее, чем когда-либо. «Пора поесть; ты мне это уже рассказывала, Нава; послезавтра мы уходим», — вот и все, что мне можно. Но я же ушел! И я здесь! Теперь я пойду в Город. Что бы это ни было — Город. У меня весь мозг зарос лесом. Я ничего не понимаю… Вспомнил. Я шел в Город, чтобы мне объяснили про все: про Одержание, про мертвяков, Великое Разрыхление Почвы, озера с утопленниками… Оказывается, все это обман, всё опять переврали, никому нельзя верить… Я надеялся, что в Городе мне объяснят, как добраться до своих, ведь старец все время говорил: Город знает все. И не может же быть, чтобы он не знал о нашей биостанции, об

Управлении. Даже Колченог все время болтает о Чертовых Скалах и о летающих деревнях… Но разве может лиловое облако что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином оказалось лиловое облако. А почему «было бы»? Уже сейчас страшно! Это же напрашивается, Молчун: лиловый туман здесь везде хозяин, разве я не помню? Да и не туман это вовсе… Так вот в чем дело, вот почему людей загнали, как зверей, в чащи, в болота, утопили в озерах: они были слишком слабы, они не поняли, а если и поняли, то ничего не могли сделать, чтобы помешать… Когда я еще не был загнан, когда я еще был дома, кто-то доказывал очень убедительно, что контакт между гуманоидным разумом и негуманоидным невозможен. Да, он невозможен. Конечно же, он невозможен. И теперь никто мне не скажет, как добраться до дома… Мой контакт с людьми тоже невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть Чертовы Скалы, говорят, их можно увидеть иногда, если забраться на подходящее дерево и если это будет подходящий сезон, только нужно сначала найти подходящее дерево, нормальное человеческое дерево. Которое не прыгает. И не отталкивает. И не старается уколоть в глаз. И все равно нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть биостанцию… Биостанцию?.. Би-о-стан-ци-ю… Он забыл, что такое биостанция.

Лес снова загудел, зажужжал, затрещал, зафыркал, снова к лиловому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами, и кусты засыпало дохлыми и слабыми, неподвижными и едва шевелящимися, помятыми в тесноте роя. Кандид ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибницы. Кандид равнодушно растер их ладонью. А Чертовы Скалы — это мираж, подумал он, ничего этого нет. Раз они рассказывают про Чертовы Скалы — значит, все это вранье, значит, ничего этого нет, и теперь я уже не знаю, зачем я, собственно, сюда пришел…

Сбоку раздался знакомый устрашающий храп. Кандид повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый гиппоцет. Один из мертвяков вдруг ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу гиппоцету. Снова раздался храп, треснули деревья, и гиппоцет удалился. Мертвяков даже гиппоцеты боятся, подумал Кандид. Кто же их не боится? Где бы их найти, которые не боятся?.. Мухи ревут. Глупо, нелепо. Мухи — ревут. Осы ревут…

— Мама!.. — прошептала вдруг Нава. — Мама идет…

Она стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. И Кандид увидел, что из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к подножию холма.

— Мама! — завизжала Нава не своим голосом, перепрыгнула через Кандида и понеслась им наперерез. Тогда Кандид тоже вскочил, и ему показалось, что мертвяки совсем рядом, что он чувствует жар их тел.

Трое, подумал он. Трое… Хватило бы и одного. Он смотрел на мертвяков. Тут мне и конец, подумал он. Глупо. Зачем они сюда приперлись, эти тетки? Ненавижу баб, из-за них всегда что-нибудь не так.

Мертвяки закрыли рты, головы их медленно поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Кандид заставил себя выскочить из кустов им навстречу.

— Назад! — закричал он женщинам, не оборачиваясь. — Уходите! Мертвяки!

Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие — без единой царапины, без единой заусеницы. Невероятно длинные руки их касались травы. Не спуская с них глаз, Кандид остановился у них на

дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, все оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться. Нава за его спиной кричала: «Мама! Это я. Да мама же!» Глупые бабы, почему они не бегут? Обмерли от страха?.. Остановись, говорил он себе, остановись же! Сколько можно пятиться? Он не мог остановиться. Там же Нава, думал он. И эти три дуры. Толстые, сонные, равнодушные дуры… И Нава… А какое мне до них дело, думал он. Колченог бы уже давно удрал на своей ноге, а Кулак и подавно. А я должен остановиться. Несправедливо. Но я ДОЛЖЕН остановиться! А ну, остановись!.. Он не мог остановиться, и презирал себя за это, и хвалил себя за это, и ненавидел себя за это, и продолжал пятиться.

Остановились мертвяки. Сразу, как по команде. Тот, что шел впереди, так и застыл с поднятой ногой, а потом медленно, словно в нерешительности, опустил ее в траву. Рты их снова вяло раскрылись, и головы повернулись к вершине холма. Кандид, все еще пятясь, оглянулся. Нава, дрыгая ногами, висела на шее у одной из женщин, та, кажется, улыбалась и пошлепывала ее по спине. Другие две женщины спокойно стояли рядом и смотрели на них. Не на мертвяков, не на холм. И даже не на Кандида — чужого заросшего мужика, может быть, вора… А мертвяки стояли неподвижно, как древние примитивные изваяния, словно ноги их вросли в землю, словно во всем лесу не осталось ни одной женщины, которую нужно хватать и тащить куда-то, куда приказано, и из-под ног их, как дым жертвенного огня, поднимались столбы пара.

Тогда Кандид повернулся и пошел к женщинам. Даже не пошел, а потащился, не уверенный ни в чем, не веря больше ни глазам, ни слуху, ни мыслям. Под черепом ворочался болезненный клубок, и все тело ныло после предсмертного напряжения.

— Бегите, — сказал он еще издали. — Бегите, пока не поздно, что же вы стоите? — Он уже знал, что говорит бессмыслицу, но это была инерция долга, и он продолжал машинально бормотать: — Мертвяки здесь, бегите, я задержу…

Они не обратили на него внимания. Не то чтобы они не слышали или не видели его — молоденькая девушка, совсем юная, может быть, всего года на два старше Навы, совсем еще тонконогая, оглядела его и улыбнулась очень приветливо, — но он ничего не значил для них, словно был большим приблудным псом, какие бегают повсюду без определенной цели и готовы часами торчать возле людей, ожидая неизвестно чего.

— Почему вы не бежите? — тихо сказал Кандид. Он уже не ждал ответа, и ему не ответили.

— Ай-яй-яй, — говорила беременная женщина, смеясь и качая головой. — И кто бы мог подумать? Могла бы ты подумать? — спросила она девушку. — И я нет. Милая моя, — сказала она Навиной матери, — и что же? Он здорово пыхтел? Или он просто ерзал и обливался потом?

— Неправда, — сказала девушка. — Он был прекрасен, верно? Он был свеж, как заря, и благоухал…

— Как лилия, — подхватила беременная женщина. — От его запаха голова шла кругом, от его лап бежали мурашки… А ты успела сказать «ах»?

Девушка прыснула. Мать Навы неохотно улыбнулась. Они были плотные, здоровые, непривычно чистые, словно вымытые, они и были вымытые — их короткие волосы были мокры, и желтая мешковатая одежда липла к мокрому телу. Мать Навы была ниже всех ростом и, по-видимому, старше всех. Нава обнимала ее за талию и прижималась лицом к ее груди.

— Где уж вам, — сказала мать Навы с деланным пренебрежением. — Что вы можете знать об этом? Вы, необразованные…

— Ничего, — сразу сказала беременная. — Откуда нам это знать? Поэтому мы тебя и спрашиваем… Скажи, пожалуйста, а каков был корень любви?

— Был ли он горек? — сказала девушка и снова прыснула.

— Вот-вот, — сказала беременная. — Плод довольно сладок, хотя и плохо вымыт…

— Ничего, мы его отмоем, — сказала мать Навы. — Ты не знаешь, Паучий бассейн очистили? Или придется нести ее в долину?

— Корень был горек, — сказала беременная девушке. — Ей неприятно о нем вспоминать. Вот странно, а говорят, это незабываемо! Слушай, милая, ведь он тебе снится?

— Не остроумно, — сказала мать Навы. — И тошнотворно…

— Разве мы острим? — удивилась беременная женщина. — Мы просто интересуемся.

— Ты так увлекательно рассказываешь, — сказала девушка, блестя зубами. — Расскажи нам еще что-нибудь…

Кандид жадно слушал, пытаясь открыть какой-то скрытый смысл в этом разговоре, и ничего не понимал. Он видел только, что эти двое издеваются над Навиной матерью, что она задета, и что она пытается скрыть это или перевести разговор на другую тему, и что это ей никак не удается. А Нава подняла голову и внимательно смотрела на говорящих, переводя взгляд с одной на другую.

— Можно подумать, что ты сама родилась в озере, — сказала мать Навы беременной женщине теперь уже с откровенным раздражением.

— О нет, — сказала та. — Но я не успела получить такого широкого образования, и моя дочь, — она похлопала себя ладонью по животу, — родится в озере. Вот и вся разница.

— Ты что к маме привязалась, толстая ты старуха? — сказала вдруг Нава. — Сама на себя посмотри, на что ты похожа, а потом привязывайся! А то я скажу мужу, он тебя как палкой огреет по толстой заднице, чтобы не привязывалась!..

Женщины, все трое, расхохотались.

— Молчун! — завопила Нава. — Что они надо мной смеются?

Все еще смеясь, женщины посмотрели на Кандида. Мать Навы — с удивлением, беременная — равнодушно, а девушка — непонятно как, но, кажется, с интересом.

— Что еще за Молчун? — сказала мать Навы.

— Это мой муж, — сказала Нава. — Смотрите, какой он хороший. Он меня от воров спас…

— Какой еще муж? — неприязненно произнесла беременная женщина. — Не выдумывай, девочка.

— Сама не выдумывай, — сейчас же сказала Нава. — Чего ты вмешиваешься? Какое тебе дело? Твой, что ли, муж? Я с тобой вообще, если хочешь знать, не разговариваю. Я с мамой разговариваю. А то лезет, как старик, без спросу, без разрешения…

— Ты что, — сказала беременная женщина Кандиду, — ты что, действительно муж?

Нава затихла. Мать крепко обхватила ее руками и прижала к себе. Она смотрела на Кандида с отвращением и ужасом. Только девушка продолжала улыбаться, и улыбка ее была так приятна и ласкова, что Кандид обратился именно к ней.

— Да нет, конечно, — сказал он. — Какая она мне жена. Она мне дочь… — Он хотел рассказать, что Нава выходила его, что он ее любит и что он очень рад, что все так хорошо и удачно получилось, хотя он ничего не понимает.

Но девушка вдруг прыснула и залилась смехом, махая руками.

— Я так и знала, — простонала она. — Это не ее муж… Это вон ее муж! — Она указала на мать Навы. — Это… ее… муж! Ох, не могу!

На лице беременной появилось веселое изумление, и она стала демонстративно внимательно оглядывать Кандида с ног до головы.

— Ай-яй-яй… — начала она прежним тоном, но мать Навы нервно сказала:

— Перестаньте! Надоело, наконец! Уходи отсюда, — сказала она Кандиду. — Иди, иди, чего ждешь? В лес иди!..

— Кто бы мог подумать, — тихонько пропела беременная, — что корень любви может оказаться столь горек… столь грязен… волосат… — Она перехватила яростный взгляд матери Навы и махнула на нее рукой. — Все, все, — сказала она. — Не сердись, милая моя. Шутка есть шутка. Мы просто очень довольны, что ты нашла дочку. Это же невероятная удача…

— Мы будем работать или нет? — сказала Навина мать. — Или мы будем заниматься болтовней?

— Я иду, не сердись, — сказала девушка. — Сейчас как раз начнется исход.

Она кивнула, и снова улыбнулась Кандиду, и легко побежала вверх по склону. Кандид смотрел, как она бежит — точно, профессионально, не по-женски. Она добежала до вершины и, не останавливаясь, нырнула в лиловый туман.

— Паучий бассейн еще не очистили, — сказала беременная женщина озабоченно. — Вечно у нас неразбериха со строителями… Как же нам быть?

— Ничего, — сказала мать Навы. — Пройдемся до долины.

— Я понимаю, но все-таки это очень глупо — мучиться, нести почти взрослого человека до самой долины, когда у нас есть свой бассейн.

Она резко пожала плечами и вдруг поморщилась.

— Ты бы села, — сказала мать Навы, поискала глазами и, протянув руку к мертвякам, щелкнула пальцами.

Один из мертвяков тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг как-то странно расплылся, изогнулся, расплющился. Кандид заморгал: мертвяка больше не было, было удобное на вид, уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сиденье и откинула голову на мягкую спинку.

— Скоро уже, — промурлыкала она, с удовольствием вытягивая ноги. — Скорее бы…

Мать Навы присела перед дочерью на корточки и стала смотреть ей в глаза.

— Выросла, — сказала она. — Одичала. Рада?

— Ну еще бы, — сказала Нава неуверенно. — Ведь ты же моя мама. Я тебя каждую ночь во сне видела. А это Молчун, мама… — И Нава принялась говорить.

Кандид озирался, стискивая челюсти. Все это не было бредом, как он сначала надеялся. Это было что-то очень обычное, очень естественное, просто незнакомое ему еще, но мало ли незнакомого в лесу? К этому надо было привыкнуть, как он привык к шуму в голове, к съедобной земле, к мертвякам и ко всему прочему. Хозяева, думал он. Это хозяева. Они ничего не боятся. Они командуют мертвяками. Значит, они хозяева. Значит, это они посылают мертвяков за женщинами. Значит, это они… Он посмотрел на мокрые волосы женщин. Значит… И мать Навы, которую угнали мертвяки…

— Где вы купаетесь? — спросил он. — Зачем? Кто вы такие? Чего вы хотите?

— Что? — сказала беременная женщина. — Послушай, милая моя, он что-то спрашивает.

Мать сказала Наве:

— Погоди минуточку, я ничего из-за тебя не слышу… Что ты говоришь? — спросила она беременную женщину.

— Этот козлик, — сказала та. — Он чего-то хочет.

Мать Навы посмотрела на Кандида.

— Что он может хотеть? — сказала она. — Есть, наверное, хочет. Они ведь всегда хотят есть и едят ужасно много, совершенно непонятно, зачем им столько еды, они ведь ничего не делают.

— Козлик, — сказала беременная женщина. — Бедный козлик хочет травки. Бе-е-е! А ты знаешь, — обратилась она к Навиной матери, — это ведь человек с Белых Скал. Они теперь, между прочим, попадаются все чаще. Как они оттуда спускаются?

— Труднее понять, как они туда поднимаются. Как они спускаются, я видела. Они падают. Некоторые убиваются, а некоторые остаются в живых.

— Мама, — сказала Нава, — что ты на него так нехорошо смотришь? Это же Молчун! Ты скажи ему что-нибудь ласковое, а то он обидится. Странно, что он еще не обиделся, я бы на его месте давно обиделась…

Холм снова заревел, черные тучи насекомых закрыли небо. Кандид ничего не слышал, он видел только, как шевелятся губы Навиной матери, которая что-то внушала Наве, и как шевелятся губы беременной женщины, которая обращалась к нему, и выражение лица у нее было такое, как

будто она и в самом деле разговаривала с домашним козлом, забравшимся в огород. Затем рев стих.

— …только очень уж грязненький, — говорила беременная женщина. — И как же тебе не стыдно, а? — Она отвернулась и стала смотреть на холм.

Из лиловой тучи на четвереньках выползали мертвяки. Они двигались неуверенно, неумело и то и дело валились с ног, тычась головами в землю. Между ними ходила девушка, наклонялась, трогала их, подталкивала, и они один за другим поднимались с четверенек, выпрямлялись и, сначала спотыкаясь, а потом шагая все тверже и тверже, уходили в лес.

… Хозяева, твердил Кандид про себя. Хозяева. Не верю. А что делать? Он посмотрел на Наву. Нава спала. Ее мать сидела на траве, а она свернулась рядом калачиком и спала, держа ее за руку.

— Какие-то они все слабые, — сказала беременная женщина. — Пора опять все чистить. Смотри, как они спотыкаются… С такими работниками Одержание не закончить.

Мать Навы ответила ей что-то, и они начали разговор, которого Кандид не понимал. Он разбирал только отдельные слова, как в бреду Слухача. Поэтому он просто стоял и смотрел, как девушка спускается с холма, волоча за лапу неуклюжего рукоеда. Зачем я здесь стою, думал он, что-то мне нужно было от них, они ведь хозяева… Он не мог вспомнить. «Стою и все, — сказал он со злостью вслух. — Не гонят больше, вот и стою. Как мертвяк». Беременная женщина мельком глянула на него и отвернулась.

Подошла девушка и сказала что-то, указывая на рукоеда, и обе женщины стали внимательно разглядывать чудище, причем беременная даже привстала с кресла. Огромный рукоед, ужас деревенских детей, жалобно пищал, слабо вырывался и бессильно открывал и закрывал страшные роговые челюсти. Мать Навы взяла его за нижнюю челюсть и сильным уверенным движением вывернула ее. Рукоед всхлипнул и замер, затянув глаза пергаментной пленкой. Беременная женщина говорила: «…Очевидно, не хватает… Запомни, девочка… Слабые челюсти, глаза открываются не полностью… переносить наверняка не может и поэтому бесполезен, а может быть, даже и вреден, как и всякая ошибка… Надо чистить, переменить место, а здесь все почистить…» — «…холм… сухость и пыль… — говорила девушка, — …лес останавливается… этого я еще не знаю… А вы мне рассказывали совсем по-другому…» — «…а ты попробуй сама, — говорила мать Навы, — …это сразу заметно… Попробуй, попробуй!»

Девушка оттащила рукоеда в сторону, отступила на шаг и стала смотреть на него. Она словно прицеливалась. Лицо ее стало серьезным и даже каким-то напряженным. Рукоед покачивался на неуклюжих лапах, уныло шевелил оставшейся челюстью и слабо скрипел. «Вот видишь», — сказала беременная женщина. Девушка подошла к рукоеду вплотную и слегка присела перед ним, уперев ладони в коленки. Рукоед затрясся и вдруг упал, распластав лапы, словно на него уронили двухпудовую гирю. Женщины засмеялись. Мать Навы сказала: «Да перестань ты, почему ты нам не веришь?» Девушка не ответила. Она стояла над рукоедом и смотрела, как тот медленно и осторожно подбирает под себя лапы и пытается подняться. Лицо ее заострилось. Она рывком подняла рукоеда, поставила его на лапы и сделала движение, будто хотела обхватить его. Между ее ладонями через туловище рукоеда протекла струя лилового тумана. Рукоед заверещал, скорчился, выгнулся, засучил лапами. Он пытался убежать, ускользнуть, спастись, он метался, а девушка шла за ним, нависала над ним, и он упал, неестественно сплетая лапы, и стал

сворачиваться в узел. Женщины молчали. Рукоед превратился в пестрый, сочащийся слизью клубок, и тогда девушка отошла от него и сказала, глядя в сторону: «Дрянь какая…»

— Чистить надо, чистить, — сказала беременная женщина, поднимаясь. — Займись, откладывать не стоит. Ты все поняла?

Девушка кивнула.

— Тогда мы пойдем, а ты сразу же начинай.

Девушка повернулась и пошла на холм к лиловому облаку. Возле пестрого клубка она задержалась, поймала слабо дергающуюся лапу и пошла дальше, волоча клубок за собой.

— Славная подруга, — сказала беременная женщина. — Молодец.

— Управлять она будет, — сказала мать Навы, тоже поднимаясь. — Характер у нее есть. Ну что же, надо идти…

Кандид едва слышал их. Он все никак не мог отвести глаз от черной лужи, оставшейся на том месте, где скрутили рукоеда. Она к нему даже не прикасалась, она его пальцем не трогала, она просто стояла над ним и делала что хотела. Такая милая, такая нежная, ласковая… Даже пальцем не притронулась… К этому тоже надо привыкнуть? Да, подумал он. Надо… Он стал смотреть, как мать Навы и беременная женщина осторожно ставят Наву на ноги, берут за руки и ведут, спящую, в лес, вниз к озеру. Так и не заметив его, так и не сказав ему ничего. Он снова посмотрел на лужу. Он почувствовал себя маленьким, жалким и беспомощным, но все-таки решился и стал спускаться вслед за ними, догнал их и, обливаясь потом от страха, пошел в двух шагах позади. Что-то горячее надвинулось на него со спины. Он оглянулся и прыгнул в сторону. По пятам шел огромный мертвяк — тяжелый, жаркий, бесшумный, немой. Ну-ну-ну, подумал Кандид, это же только робот, слуга. А я молодец, подумал он вдруг, ведь это я сам понял. Я забыл, как я до этого дошел, но это не важно, важно, что я понял, сообразил. Все сопоставил и сообразил — сам… У меня мозг, понятно? — сказал он беззвучно, глядя в спины женщин. Нечего вам особенно… Я тоже кое-что могу.

Женщины говорили о каком-то человеке, который взялся не за свое дело и поэтому стал посмешищем. Их что-то забавляло, они смеялись. Они шли по лесу и смеялись. Словно шли по деревенской улице на посиделки. А вокруг был лес, а под ногами была даже не тропа, а густая светлая трава, в такой траве всегда бывают неприметные мелкие цветы, которые разбрасывают споры, проникающие под кожу и прорастающие в теле. А они хихикали и болтали, и сплетничали, а Нава шла между ними и спала, но они сделали так, что она шла довольно уверенно и почти не спотыкалась… Беременная женщина мельком оглянулась, увидела Кандида и рассеянно сказала ему:

— Ты еще здесь? В лес иди, в лес… Зачем за нами идешь?

Да, подумал Кандид. Зачем? Какое мне до них дело? А ведь какое-то дело есть, что-то у них надо узнать… Нет, не то… Нава! — вдруг вспомнил он. Он понял, что Наву он потерял. С этим ничего не поделаешь. Нава уходит со своей матерью, все правильно, она уходит к хозяевам. А я? Я остаюсь. А зачем я все-таки иду за ними? Провожаю Наву? Она же спит, они усыпили ее. Его охватила тоска. Прощай, Нава, подумал он.

Они вышли к развилке тропы, женщины свернули налево, к озеру. К озеру с утопленницами. Они и есть утопленницы… Опять всё переврали, все перепутали… Они прошли мимо того места, где Кандид ждал Наву и ел землю. Это было очень давно, подумал Кандид, почти так же давно, как биостанция… Био-станция… Он едва плелся; если бы за ним по пятам не шел мертвяк, он бы, наверное, уже отстал. Потом женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были тростники, земля под ногами была теплая и топкая. Нава стояла с закрытыми глазами, чуть заметно раскачиваясь, а женщины задумчиво смотрели на него. Тогда он вспомнил.

— Как мне пройти на биостанцию? — спросил он.

На их лицах изобразилось изумление, и он сообразил, что говорит на родном языке. Он и сам удивился: он уже не помнил, когда в последний раз говорил на этом языке.

— Как мне пройти к Белым Скалам? — спросил он.

Беременная женщина сказала, усмехаясь:

— Вот он, оказывается, чего хочет, этот козлик… — Она говорила не с ним, она говорила с матерью Навы. — Забавно, они ничего не понимают. Ни один из них ничего не понимает. Представляешь, как они бредут к Белым Скалам и вдруг попадают в полосу боев!

— Они гниют там заживо, — сказала мать Навы задумчиво, — они идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте… А в общем-то, пусть идет, для Разрыхления это только полезно. Сгниет — полезно. Растворится — тоже полезно… А может быть, он защищен? Ты защищен? — спросила она Кандида.

— Я не понимаю, — сказал Кандид упавшим голосом.

— Милая моя, что ты его спрашиваешь? Откуда ему быть защищенным?

— В этом мире все возможно, — сказала мать Навы. — Я слышала о таких вещах.

— Это болтовня, — сказала беременная женщина. Она снова внимательно оглядела Кандида. — А ты знаешь, — сказала она, — пожалуй, от него было бы больше пользы здесь… Помнишь, что вчера говорили Воспитательницы?

— А-а, — сказала мать Навы. — Пожалуй… Пусть… Пусть остается.

— Да, да, оставайся, — сказала вдруг Нава. Она уже не спала, и она тоже чувствовала, что происходит что-то неладное. — Ты оставайся, Молчун, ты не ходи никуда, зачем тебе теперь уходить? Ты ведь хотел в Город, а это озеро и есть Город, ведь правда, мама?.. Или, может, ты на маму обижаешься? Так ты не обижайся, она вообще добрая, только сегодня почему-то злая… Наверное, это от жары…

Мать поймала ее за руку. Кандид увидел, как вокруг головы матери быстро сгустилось знакомое лиловатое облачко. Глаза ее на мгновение остекленели и закрылись, потом она сказала:

— Пойдем, Нава, нас уже ждут.

— А Молчун?

— Он останется здесь… В Городе ему совершенно нечего делать.

— Но я хочу, чтобы он был со мной! Как ты не понимаешь, мама, он же мой муж, мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж…

Обе женщины поморщились.

— Пойдем, пойдем, — сказала мать Навы. — Ты пока еще ничего не понимаешь… Он никому не нужен, он лишний, они все лишние, они ошибка… Да пойдем же! Ну хорошо, потом придешь к нему… если захочешь.

Нава сопротивлялась, наверное, она чувствовала то же, что чувствовал Кандид, — что они расстаются навсегда. Мать тащила ее за руку в тростники, а она все оглядывалась и кричала:

— Ты не уходи, Молчун! Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня уходить, это будет нехорошо, просто нечестно! Пусть ты не мой муж, раз уж это им почему-то не нравится, но я все равно твоя жена, я тебя выходила, и теперь ты меня жди! Слышишь? Жди!..

Он смотрел ей вслед, слабо махал рукой, кивал, соглашаясь, и все старался улыбнуться. Прощай, Нава, думал он. Прощай. Они скрылись из виду, и остались только тростники, но голос Навы был еще слышен, а потом Нава замолчала, раздался всплеск, и все стихло. Он проглотил комок, застрявший в горле, и спросил беременную женщину:

— Что вы с нею сделаете?

Она все еще внимательно разглядывала его.

— Что мы с нею сделаем? — задумчиво сказала она. — Это не твоя забота, козлик, что мы с нею сделаем. Во всяком случае, муж ей больше не понадобится. И отец тоже… Но вот что нам делать с тобой? Ты ведь с Белых Скал, и не отпускать же тебя просто так…

— А что вам нужно? — спросил Кандид.

— Что нам нужно… Мужья нам, во всяком случае, не нужны. — Она перехватила взгляд Кандида и презрительно засмеялась. — Не нужны, не нужны, успокойся… Попытайся хоть раз в жизни не быть козлом. Попытайся представить себе мир без козлов… — Она говорила, не думая; вернее, она думала о чем-то другом. — На что же ты еще годен?.. Скажи мне, козлик, что ты умеешь?

Что-то было за всеми ее словами, за ее тоном, за ее пренебрежением и равнодушной властностью, что-то важное, что-то неприятное и страшное, но определить это было трудно, и Кандид только почему-то вспомнил черные квадратные двери и Карла с двумя женщинами — такими же равнодушными и властными.

— Ты меня слушаешь? — спросила беременная. — Что ты умеешь делать?

— Я ничего не умею, — вяло сказал Кандид.

— Может быть, ты умеешь управлять?

— Умел когда-то, — сказал Кандид. Пошла ты к черту, подумал он, что ты ко мне привязалась? Я тебя спрашиваю, как пройти к Белым Скалам, а ты ко мне привязываешься… Он вдруг понял, что боится ее, иначе он бы давно ушел. Она была здесь хозяином, а он был жалким грязным глупым козликом.

— Умел когда-то… — повторила она. — Прикажи этому дереву лечь!

Кандид посмотрел на дерево. Это было большое толстое дерево с пышной кроной и волосатым стволом. Он пожал плечами.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда убей это дерево… Тоже не можешь? Ты вообще можешь делать живое мертвым?

— Убивать?

— Не обязательно убивать. Убивать и рукоед может. Сделать живое мертвым. Заставить живое стать мертвым. Можешь?

— Я не понимаю, — сказал Кандид.

— Не понимаешь… Что же вы там делаете на этих Белых Скалах, если ты даже этого не понимаешь? Мертвое живым ты тоже не умеешь делать?

— Не умею.

— Что же ты умеешь? Что ты делал на Белых Скалах, пока не упал в лес? Просто жрал и поганил женщин?

— Я изучал лес, — сказал Кандид.

Она строго посмотрела на него.

— Не смей мне лгать. Один человек не может изучать лес, это все равно что изучать солнце. Если ты не хочешь говорить правду, то так и скажи.

— Я действительно изучал лес, — сказал Кандид. — Я изучал… — Он замялся. — Я изучал самые маленькие существа в лесу. Те, которые не видны глазом.

— Ты опять лжешь, — терпеливо сказала женщина. — Невозможно изучать то, что не видно глазом.

— Возможно, — сказал Кандид. — Нужны только… — Он опять замялся. Микроскоп… Линзы… Приборы… Это не передать. Это не перевести. — Если взять каплю воды, — сказал он, — то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных.

— Для этого не нужно никаких вещей, — сказала женщина. — Я вижу, вы там впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших Белых Скалах. Вы вырождаетесь. Я уже давно заметила, что вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой человек, даже грязный мужчина… Постой, ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может, ты говоришь о строителях?

— Может быть, — сказал Кандид. — Я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, от которых болеют, но которые могут и лечить тоже, которые помогают делать пищу, которых очень много и которые есть везде… Я искал, как они устроены у вас здесь в лесу, и какие они бывают, и что они могут…

— А на Белых Скалах они другие, — саркастически сказала женщина. — Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься. Над строителями ты никакой власти, конечно, не имеешь. Любой деревенский дурак может больше, чем ты… Куда же мне тебя девать? Ведь ты сам пришел сюда…

— Я пойду, — сказал Кандид устало. — Я пойду, прощай.

— Нет, погоди… Стой, тебе говорят! — крикнула она, и Кандид ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, но это было бессмысленно. Женщина размышляла вслух: — В конце концов, он пришел сам. Такие случаи бывают. Если его отпустить, он уйдет в свою деревню и станет совершенно бесполезным… Ловить их бессмысленно. Но если они приходят сами… Знаешь, что я с тобой сделаю? — сказала она. — Отдам-ка я тебя Воспитательницам для ночных работ. В конце концов, были же удачные случаи… К Воспитательницам его, к Воспитательницам! — Она махнула рукой и неторопливо, вперевалку ушла в тростники.

И тогда Кандид почувствовал, что его поворачивают на тропинку. Локти у него онемели, ему казалось, что они обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понял, что с ним будет, и куда его должны отвести, и кто такие Воспитательницы, и что это за ночные работы, но он вспомнил самые страшные из своих впечатлений: призрак Карла посреди плачущей толпы и рукоеда, свертывающегося в пестрый узел. Он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад, вслепую, отчаянно, зная, что второй раз этот прием уже не пройдет. Нога его погрузилась в мягкое и горячее, мертвяк всхрапнул и ослабил хватку. Кандид упал лицом в траву, вскочил, повернулся и закричал — мертвяк уже снова шел на него, широко расставив неимоверно длинные руки. Не было ничего под рукой, ни травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Топкая теплая земля разъезжалась под ногами. Потом он вспомнил и сунул руку за пазуху, и, когда мертвяк навис над ним, он ударил его скальпелем куда-то между глазами, зажмурился и, навалившись всем телом, потянул лезвие сверху вниз до самой земли и снова упал.

Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине оранжевого туловища, а потом оступился и рухнул навзничь, заливая все вокруг густой белой жидкостью, дернулся несколько раз и замер. Тогда Кандид поднялся и побрел прочь. По тропинке. Подальше отсюда. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать, что-то собирался сделать. Но теперь все это было неважно. Важно было уйти подальше, хотя он сознавал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим, многим, многим другим.

Глава девятая

Перец

Перец проснулся от неудобства, от тоски, от невыносимой, как ему показалось сначала, нагрузки на сознание и все органы чувств. Ему было неудобно до боли, и он невольно застонал, медленно приходя в себя.

Нагрузка на сознание оказалась отчаянием и досадой, потому что машина не ехала на Материк, она снова не ехала на Материк и вообще никуда не ехала. Она стояла с выключенным двигателем, мертвая и ледяная, с распахнутыми дверцами. Ветровое стекло было покрыто дрожащими каплями, которые сливались и текли холодными струйками. Ночь за стеклом озарялась ослепительными вспышками прожекторов и фар, и ничего не было видно, кроме этих непрерывных вспышек, от которых ломило глаза. И ничего не было слышно, и Перец даже подумал сначала, что оглох, и только затем сообразил, что на уши равномерно давит густой

многоголосый рев сирен. Он заметался по кабине, больно ушибаясь о рычаги и выступы и о проклятый чемодан, попытался протереть стекло, высунулся в одну дверцу, высунулся в другую: он никак не мог понять, где он находится, что это за место и что все это означает. Война, подумал он, боже мой, это война!.. Прожектора со злобным наслаждением били его по глазам, и он ничего не видел, кроме какого-то большого незнакомого здания, в котором равномерно вспыхивали и гасли все окна разом на всех этажах. И еще он видел огромное количество широких лиловых пятен.

Чудовищный голос вдруг произнес спокойно, будто в полной тишине: «Внимание, внимание. Всем сотрудникам стоять на местах по положению номер шестьсот семьдесят пять дробь Пегас омикрон триста два директива восемьсот тринадцать, на торжественную встречу падишаха без специальной свиты, размер обуви пятьдесят пять. Повторяю. Внимание, внимание. Всем сотрудникам…» Прожектора перестали метаться, и Перец различил наконец знакомую арку с надписью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» и главную улицу Управления, и темные коттеджи вдоль нее, и каких-то людей в ночном белье с керосиновыми лампами, стоящих около коттеджей, а затем увидел совсем недалеко цепь бегущих людей в черных развевающихся плащах. Эти люди бежали, занимая всю ширину улицы, растянув поперек что-то странное, светлое, и, приглядевшись, Перец понял, что они тащат не то бредень, не то волейбольную сетку, и сейчас же сорванный голос завизжал у него над ухом: «Почему машина? Ты почему здесь стоишь?» И, отшатнувшись, он увидел рядом с собой инженера в белой картонной маске с надписью по лбу чернильным карандашом «Либидович», и этот инженер полез грязными сапогами прямо по нему, пихая его локтем в лицо, храпя и воняя потом, повалился на место водителя, пошарил ключ зажигания, не нашел, истерически взвизгнул и выкатился из кабины на противоположную сторону. На улице зажглись все фонари, стало светло, как днем, а люди в белье все стояли с керосиновыми лампами у дверей коттеджей, и у каждого в руке был сачок для ловли бабочек, и они мерно размахивали этими сачками, словно отгоняя что-то невидимое от своих дверей. По улице навстречу и мимо прокатились одна за другой четыре мрачные черные машины, похожие на автобусы без окон, и на крышах у них вращались какие-то решетчатые лопасти, а потом из переулка вывернул вслед за ними старинный броневик. Ржавая башня его вращалась с пронзительным визгом, а тонкий ствол пулемета ходил вверх и вниз. Бронеавтомобиль с трудом протиснулся мимо грузовика, люк его башни открылся, и высунувшийся человек в бязевой ночной рубашке с болтающимися тесемками недовольно прокричал Перецу: «Что же ты, голубчик? Проезжать надо, а ты стоишь!» Тогда Перец опустил голову на руки и закрыл глаза.

Я никогда не уеду отсюда, тупо подумал он. Я никому здесь не нужен, я абсолютно бесполезен, но они меня отсюда не выпустят, хотя бы для этого пришлось начать войну или устроить наводнение…

— Бумаги ваши попрошу, — сказал тягучий стариковский голос, и Переца похлопали по плечу.

— Что? — сказал Перец.

— Документики. Приготовили?

Это был старик в клеенчатом плаще, с берданкой, висящей поперек груди на облезлой металлической цепочке.

— Какие бумаги? Какие документы? Зачем?

— А, господин Перец! — сказал старик. — Что же это вы положение не выполняете? Все бумаги уже должны быть у вас в руке в развернутом виде, как в музее…

Перец дал ему свое удостоверение. Старик, положив локти на берданку, внимательно изучил печати, сверил фотографию с лицом Переца и сказал:

— Что-то вы будто похудели, герр Перец. С лица словно бы спали. Работаете много… — Он вернул удостоверение.

— Что происходит? — спросил Перец.

— Что полагается, то и происходит, — сказал старик, внезапно посуровев. — Происходит положение за номером шестьсот семьдесят пять дробь Пегас. То есть побег.

— Какой побег? Откуда?

— Какой полагается по положению, такой и побег, — сказал старик, начиная спускаться по лестнице. — Того и гляди рванут, так что вы уши берегите, сидите лучше с открытым ртом.

— Хорошо, — сказал Перец. — Спасибо.

— Ты чего здесь, старый хрыч, ползаешь? — раздался внизу злобный голос шофера Вольдемара. — Я тебе покажу — документики! Во, понюхай! Понял? Ну и катись отсюда, если понял…

Мимо с топотом и криками проволокли на руках бетономешалку. Шофер Вольдемар, взъерошенный, ощеренный, вскарабкался в кабину. Бормоча черные слова, он завел двигатель и с грохотом захлопнул дверь. Грузовик рванул с места и помчался по улице мимо людей в белье, размахивающих сачками. В гараж, подумал Перец. Ах, все равно. Но к чемодану я больше не прикоснусь. Не желаю я его больше таскать, провались он пропадом. Он с ненавистью ткнул чемодан пяткой. Машина круто свернула с главной улицы, врезалась в баррикаду из пустых бочек и телег, разнесла ее и помчалась дальше. Некоторое время на радиаторе мотался расщепленный передок извозчичьей пролетки, потом сорвался и хрустнул под колесами. Грузовик несся теперь по тесным боковым улочкам. Вольдемар, насупленный, с потухшим окурком на губе, сгибаясь и разгибаясь всем телом, обеими руками крутил огромный руль. Нет, не в гараж, подумал Перец. И не в мастерские. И не на Материк. В переулках было темно и пусто. Только один раз в лучах фар промелькнули чьи-то картонные лица с надписями, растопыренные руки, и все исчезло.

— Черт меня дернул, — сказал Вольдемар. — Хотел же прямо на Материк ехать, а тут вижу — вы спите, дай, думаю, заверну в гараж, в шахматишки сгоняю партию… Только это я нашел Ахилла-слесаря, сбегали за кефиром, приняли, расставили… Я предлагаю ферзевый гамбит, он принимает, все как надо… Я — «е-4», он — «це-6»… Я ему говорю: ну, молись. И тут как началось… У вас сигаретки нет, пан Перец?

Перец дал ему сигарету.

— А что за побег? — спросил он. — И куда мы едем?

— Побег самый обыкновенный, — сказал Вольдемар, закуривая. — Каждый год у нас такие побеги. У инженеров машинка сбежала. И теперь приказ всем ловить. Вон, ловят…

Поселок кончился. По пустырю, озаренному луной, бродили люди. Они словно играли в жмурки — шли на полусогнутых ногах, широко расставив руки. Глаза у всех были завязаны. Один с размаху налетел на столб и, вероятно, болезненно вскрикнул, потому что остальные разом остановились и стали осторожно ворочать головами.

— Каждый год такая петрушка, — говорил Вольдемар. — У них там и фотоэлементы, и разная акустика, и кибернетика, охранников-дармоедов понаставили на каждом углу — и все-таки обязательно каждый год у них какая-нибудь машинка да сбежит. И тогда тебе говорят: бросай все, иди ее ищи. А кому охота ее искать? Кому охота с ней связываться, я спрашиваю? Ведь если ты ее хоть краем глаза увидишь — все. Или тебя в инженеры упекут, или загонят куда-нибудь в лес, на дальнюю базу, грибы спиртовать, чтобы, упаси бог, не разгласил. Вот народ и ловчит, кто как умеет. Кто себе глаза завяжет, чтобы не увидеть, кто как… А кто поумней, тот просто бегает и кричит что есть мочи. У одного документы потребует, у другого обыск сделает, а то просто залезет на крышу и вопит. Вроде и при деле, а риска никакого…

— А мы что, тоже сейчас ловим? — спросил Перец.

— А как же, ловим. Народ ловит, и мы как все. Шесть часов ловить будем по часам. Есть приказ: если в течение шести часов бежавший механизм не обнаружен, его дистанционно взрывают. Чтобы все было шито-крыто. А то еще попадет в посторонние руки. Видали, какой кавардак в Управлении? Так это еще райская тишь, вы посмо́трите, что там через шесть часов начнется. Ведь никто не знает, куда эта машинка заползла. Может, она у тебя в кармане. А заряд ей придается мощный, чтобы уж — наверняка… Вот в прошлом году оказалась эта машинка в бане, а в баню множество народу понабилось — спасаться. Баня, думают, место сырое, незаметное… Ну и я там был. Баня же, думаю… Так меня в окно вынесло, плавно так, будто на волне. Моргнуть не успел, сижу в сугробе, а надо мной балки горящие проплывают…

Теперь вокруг была равнина, чахлая травка, мутный свет луны, разбитая белая дорога. Слева, там, где осталось Управление, опять суматошно мотались огни.

— Я только не понимаю, — сказал Перец. — Как же мы будем ее ловить, мы ведь даже не знаем, что она такое… Маленькая она или большая, темная или светлая…

— А это вы скоро увидите, — пообещал Вольдемар. — Это я вам минут через пять покажу. Как умные люди ловят. Черт, где же это место… Потерял. Влево, наверное, взял. Ага, влево… Вон склад техники, а нам, значит, надо правее…

Машина свернула с дороги и закачалась на кочках. Склад остался слева — ряды огромных светлых контейнеров, будто мертвый город на равнине.

…Наверное, она не выдержала. Они трясли ее на вибростенде, они вдумчиво мучили ее, копались во внутренностях, жгли тонкие нервы паяльниками, она задыхалась от запаха канифоли, ее заставляли делать глупости, ее создали, чтобы она делала глупости, ее совершенствовали, чтобы она делала все более глупые глупости, а вечером оставляли ее, истерзанную, обессиленную, в сухой жаркой комнатушке. И наконец она решилась уйти, хотя знала все — и бессмысленность побега, и свою обреченность. И она ушла, неся в себе самоубийственный заряд, и сейчас стоит где-нибудь в тени, мягко переступая коленчатыми ногами, и смотрит, и слушает, и ждет… И теперь ей, наверное, уже стало совершенно ясно все то, о чем раньше она только догадывалась: что никакой свободы нет, заперты перед тобой двери или открыты, что все глупость и хаос, и есть только одно одиночество…

— А!.. — сказал Вольдемар с удовлетворением. — Вот она, милая. Вот она, родимая…

Перец открыл глаза, но успел увидеть впереди только обширную черную лужу, даже не лужу, а просто болото, и услыхал, как заревел двигатель, а потом волна грязи вздыбилась и упала на ветровое стекло. Двигатель вновь дико взвыл и заглох. Стало очень тихо.

— Вот это по-нашему, — сказал Вольдемар. — Все шесть колес буксуют. Как мыло в тазу. Ясно? — Он сунул окурок в пепельницу и приоткрыл свою дверь. — Тут еще кто-то есть, — сообщил он и заорал: — Эй, друг! Как дела?

— Порядок! — донеслось снаружи.

— Поймал?

— Насморк поймал! — донеслось снаружи. — Унд пять головастиков.

Вольдемар крепко захлопнул дверцу, зажег в кабине свет, посмотрел на Переца, подмигнул ему, вытащил из-под сиденья мандолину и, склонив голову к правому плечу, принялся щипать струны.

— Вы устраивайтесь, устраивайтесь, — гостеприимно сказал он. — Пока утро наступит, пока тягач доползет…

— Спасибо, — покорно сказал Перец.

— Я вам не мешаю? — вежливо спросил Вольдемар.

— Нет-нет, — сказал Перец. — Пожалуйста…

Вольдемар откинул голову, закатил глаза и запел печальным голосом:

Тоске моей не вижу я предела,
Один брожу безумно и устало,
Скажи, зачем ко мне ты охладела,
Зачем любовь так грубо растоптала?

Грязь медленно стекала с ветрового стекла, и стало видно сияющее под луной болото и странной формы автомобиль, торчащий посередине этого болота. Перец включил стеклоочиститель и через некоторое время с изумлением обнаружил, что в трясине, увязнув до башни, стоит давешний броневик.

…Теперь с другим ты радуешься жизни,
А я один, безумный и усталый.

Вольдемар изо всех сил ударил по струнам, сфальшивил и откашлялся.

— Эй, друг! — донеслось снаружи. — Закуски нет?

— А что? — закричал Вольдемар.

— Имеется кефир!

— Я не один!

— Валите все! На всех хватит! Запаслись — знали, на что идем!

Шофер Вольдемар повернулся к Перецу.

— А что? — восхищенно сказал он. — Пошли? Кефиру выпьем, может быть, в теннис сыграем… А?

— Я не играю в теннис, — сказал Перец.

Вольдемар крикнул:

— Сейчас идем! Только лодку надуем!

Он быстро, как обезьяна, выкарабкался из кабины и завозился в кузове, лязгая там железом, роняя что-то и весело посвистывая. Потом раздался плеск, царапанье ногами по борту, и голос Вольдемара откуда-то снизу позвал: «Готово, господин Перец! Сигайте сюда, только мандолину захватите!» Внизу, на блестящей поверхности жидкой грязи, лежала надувная лодка, в ней, как гондольер, широко раздвинув ноги, с большой саперной лопатой в руке стоял Вольдемар и, радостно улыбаясь, глядел вверх на Переца.

…В старом ржавом бронеавтомобиле времен Вердена было жарко до тошноты, воняло горячим маслом и бензиновым перегаром, горела тусклая лампочка над железным командирским столиком, изрезанным неприличными надписями, под ногами хлюпала грязь, ноги стыли, мятый жестяной шкаф для боеприпасов был набит бутылками с кефиром, все были в ночном белье и чесали пятерней волосатые груди, все были пьяны, и зудела мандолина, и башенный стрелок в бязевой рубахе, которому не хватало места внизу, ронял сверху табачный пепел, а иногда падал сам спиной вниз, и каждый раз говорил: «Пардон, обознался…», и его с гоготом подсаживали обратно…

— Нет, — сказал Перец, — спасибо, Вольдемар, я здесь останусь. Мне кое-что постирать надо… да и зарядки я еще не делал.

— А, — сказал Вольдемар с уважением, — тогда другое дело. Тогда я поплыву, а вы, как со стиркой обернетесь, сразу крикните, мы за вами приедем… Мандолину бы мне только.

Он уплыл с мандолиной, а Перец остался сидеть и смотрел, как он сначала пытался загребать лопатой, но от этого лодка только крутилась на месте, и тогда он стал отталкиваться лопатой, как шестом, и дело пошло на лад. Луна обливала его мертвым светом, и он был похож на последнего человека после последнего Великого Потопа, который плавает между верхушками самых высоких зданий, очень одинокий, ищущий спасения от одиночества и еще полный надежд. Он подплыл к броневику, загремел кулаком по броне, из люка высунулись, весело заржали и втянули его внутрь вниз головой. И Перец остался один.

Он был один, как единственный пассажир ночного поезда, ковыляющего своими тремя облупленными вагончиками по отмирающей железнодорожной ветке, в вагоне все скрипит и шатается, в намертво перекошенные разбитые окна дует и несет паровозной гарью, подпрыгивают на полу окурки и скомканные бумажки, и качается на крючке забытая кем-то соломенная шляпа, а когда поезд подойдет к конечной станции, единственный пассажир выйдет на гнилую платформу, и его никто не встретит, он точно знает, что его никто не встретит, и он

побредет домой, и дома зажарит себе на плитке яичницу из двух яиц с третьеводнишней позеленевшей колбасой…

Броневик вдруг затрясся, застучал и озарился судорожными вспышками. Сотни светящихся разноцветных нитей протянулись от него через равнину, и в сиянии луны и в блеске вспышек стало видно, как от броневика по гладкому зеркалу болота пошли широкие круги. Из башни высунулся некто в белом и, надрываясь, провозгласил: «Милостивые государи! Дамы, господа! Салют наций! С совершеннейшим почтением, ваше сиятельство, честь имею оставаться, многоуважаемая княгиня Дикобелла, вашим покорнейшим слугой, техник-смотритель, подпись неразборчива!..» Броневик снова затрясся, засверкал вспышками и снова затих.

Напущу я на вас неотвязные лозы, подумал Перец, и род ваш проклятый джунгли сметут, кровли обрушатся, балки падут, и карелою, горькой карелой дома зарастут…

…Лес надвигался, взбирался по серпантину, карабкался по отвесной скале, впереди шли волны лилового тумана, из них выползали, опутывая и сжимая, мириады зеленых щупалец, а на улицах разверзались клоаки, и дома проваливались в бездонные озера, и прыгающие деревья вставали на бетонных взлетных площадках перед битком набитыми самолетами, где люди лежали штабелями вперемешку с бутылками кефира, с серыми грифованными папками и с тяжелыми сейфами, и земля под утесом расступилась и всосала его. Это было бы так закономерно, так естественно, что никто не был бы удивлен, все были бы только испуганы и приняли бы уничтожение как возмездие, которого каждый в страхе ждал уже давно. А шофер Тузик, как паук, бегал бы между шатающимися коттеджами и искал бы Риту, чтобы напоследок получить все-таки свое, но так и не успел бы…

Из броневика взвились три ракеты, военный голос проревел: «Танки справа, укрытие слева! Экипаж, в укрытие!» И кто-то сейчас же подхватил косноязычно: «Бабы слева, койки справа! Эк-кипаж, по к-койкам!» И раздались ржание и топот, совершенно уже нечеловеческие, словно табун племенных жеребцов бился и лягался в этой железной коробке в поисках выхода на простор, к кобылам. Перец распахнул дверь и выглянул наружу. Под ногами была топь, глубокая топь, потому что чудовищные колеса грузовика уходили в жирную жижу выше ступиц. Правда, до берега было близко.

Перец перелез в кузов и долго шел к заднему борту, с грохотом и звоном ступая по дну этого необъятного стального корыта в густой лунной тени, потом вскарабкался на борт и по одной из бесчисленных лесенок спустился до самой воды. Некоторое время он, набираясь решимости, висел над ледяной жижей, а затем, когда в бронеавтомобиле снова ударили из пулемета, зажмурился и прыгнул. Жижа стала расступаться под ним и расступалась долго, долго-долго, и не было этому конца, и, когда он почувствовал под ногами твердь, грязь затопила его по грудь. Он налег на грязь всем телом, он толкал ее коленями и отталкивался ладонями, и сначала он только бился на месте, а потом приспособился и пошел, и, к своему удивлению, очень быстро оказался на сухом месте.

Хорошо бы где-нибудь отыскать людей, подумал он. Для начала просто людей — чистых, выбритых, внимательных, гостеприимных. Не надо полета высоких мыслей, не надо сверкающих талантов. Не надо потрясающих целей и самоотрицания. Пусть они просто всплеснут руками, увидев меня, и кто-нибудь побежит наполнять ванну, кто-нибудь побежит доставать чистое белье и ставить чайник, и чтобы никто не спрашивал документы и не требовал автобиографии в трех экземплярах с приложением двадцати дублированных отпечатков пальцев, и чтобы никто-никто

не бросался к телефону сообщить куда следует значительным шепотом, что-де появился неизвестный, весь в грязи, называет себя Перецом, но только вряд ли он Перец, потому что Перец убыл на Материк, и приказ об этом уже отдан и завтра будет вывешен… Не нужно еще, чтобы они были принципиальными сторонниками или противниками чего-нибудь. Не нужно, чтобы они были принципиальными противниками пьянства, лишь бы сами не были пьяницами. Не нужно, чтобы они были принципиальными сторонниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его таким, какой он есть… Боже мой, подумал Перец, неужели я хочу так много?

Он вышел на дорогу и долго брел на огни Управления. Там неустанно вспыхивали прожектора, метались тени, поднимался разноцветный дым. Перец шел, в его ботинках ворчала и хлюпала вода, подсохшая одежда стояла коробом и шуршала, как картон, время от времени со штанов отваливались пласты грязи и шлепались на дорогу, и каждый раз Перецу казалось, что он выронил бумажник с документами, и он в панике хватался за карман, а когда он уже подходил к складу техники, его вдруг обожгла жуткая мысль, что документы подмокли и все печати и подписи на них расплылись и стали неразборчивы и непоправимо подозрительны. Он остановился, ледяными руками раскрыл бумажник и вытащил все удостоверения, все пропуска, все свидетельства, все справки и стал их рассматривать под луной. И оказалось, что ничего страшного не произошло, что вода попортила только одну пространную справку на гербовой бумаге, удостоверяющую, что предъявитель сего прошел курс прививок и допущен к работе на счетно-вычислительных машинах. Тогда он снова уложил документы в бумажник, проложив их аккуратно ассигнациями, и пошел было дальше, но тут представил себе, как выходит на главную улицу, и люди в картонных масках и косо приклеенных бородах хватают его за руки, завязывают ему глаза, дают ему что-то понюхать и приказывают: «Ищи! Ищи!», и говорят: «Запомнили запах, сотрудник Перец?», и науськивают: «Шерше, дура, шерше!» И представив себе все это, он, не останавливаясь, свернул с дороги и побежал, пригибаясь, к складу техники, нырнул в тень огромных светлых ящиков, запутался ногами в мягком и с разбегу упал на кучу тряпок и пакли.

Здесь оказалось тепло и сухо. Шершавые стенки ящиков были горячими на ощупь, и это сначала обрадовало, а потом уже удивило его. В ящиках было тихо, но он вспомнил рассказ о машинах, самостоятельно вылезающих из контейнеров, и понял, что в ящиках идет своя жизнь, но не испугался, а даже, наоборот, почувствовал себя в безопасности. Он сел поудобнее, снял сырые ботинки, стянул мокрые носки и вытер ноги паклей. Здесь было так тепло, так хорошо, так уютно, что он подумал: странно, неужели я здесь один? Неужели никто не сообразил, что гораздо лучше сидеть здесь, в тепле, нежели ползать по пустырям с завязанными глазами или торчать в смердящем болоте? Он прислонился спиной к горячей фанере и упер босые ноги в горячую фанеру напротив, и почувствовал, что ему хочется мурлыкать. Над головой у него была узкая щель, и он видел полоску белесого от луны неба и на ней несколько неярких звездочек. Откуда-то доносился гул, треск, рев моторов, но это его нисколько не касалось.

Хорошо бы здесь остаться навсегда, подумал он. Раз уж мне не уйти на Материк, останусь здесь навсегда. Подумаешь, машины! Все мы машины. Только мы — испорченные машины или плохо отлаженные.

…Есть такое мнение, господа, что человек никогда не договорится с машиной. И не будем, граждане, спорить. Директор тоже так считает. Да и Клавдий-Октавиан Домарощинер этого же мнения придерживается. Ведь что есть машина? Неодухотворенный механизм, лишенный всей

полноты чувств и не могущий быть умнее человека. Опять же и структура небелковая, опять же и жизнь нельзя свести к физическим и химическим процессам, а значит, и разум… Тут на трибуну взобрался интеллектуал-лирик с тремя подбородками и галстуком-бабочкой, рванул себя безжалостно за крахмальную манишку и рыдающе провозгласил: «Я не могу… Я не хочу этого… Розовое дитя, играющее погремушечкой… Плакучие ивы, склоняющиеся к пруду… Девочки в беленьких фартучках… Они читают стихи… Они плачут… Плачут!.. Над прекрасной строкой поэта… Я не желаю, чтобы электронное железо погасило эти глаза… эти губы… эти юные робкие перси… Нет, не станет машина умнее человека! Потому что я… Потому что мы… Мы не хотим этого! И этого не будет никогда! Никогда!!! Никогда!!!» К нему потянулись со стаканами воды, а в четырехстах километрах над его снежными кудрями беззвучно, мертво, зорко прошел, нестерпимо блестя, автоматический спутник-истребитель, начиненный ядерной взрывчаткой…

Я тоже этого не хочу, подумал Перец. Но нельзя же быть таким глупым дураком. Можно, конечно, объявить кампанию по предотвращению зимы, шаманить, нажравшись мухомора, бить в бубны, выкрикивать заклинания, но лучше все-таки шить шубы и покупать валенки… Впрочем, этот седовласый опекатель робких персей покричит-покричит с трибуны, а потом утащит у любовницы масленку из футляра со швейной машинкой, подкрадется к какой-нибудь электронной громадине и станет мазать ей шестеренки, искательно заглядывая в циферблаты и почтительно хихикая, когда его долбает током. Боже, спаси нас от седовласых глупых дураков. И не забудь при этом, боже, спасти нас от умных дураков в картонных масках…

— Я думаю, это у тебя сны, — произнес где-то наверху добродушный бас. — Я по себе знаю, от снов иногда бывает очень неприятный осадок. Иногда даже наступает словно бы паралич. Невозможно двигаться, невозможно работать, а потом все проходит. Надо бы тебе поработать. Почему бы тебе не поработать? И все осадки растворятся в удовольствии.

— Ах, да не могу я работать, — возразил капризный тонкий голос. — Мне все надоело. Всегда одно и то же: железо, пластмасса, бетон, люди. Я сыта этим по горло. Для меня в этом не осталось никакого удовольствия. Мир так прекрасен и так разнообразен, а я сижу на одном месте и умираю от скуки!

— Взяла бы да переменила место, — проскрипел издали какой-то сварливый старик.

— Легко сказать — перемени место! Вот я сейчас не на месте, и все равно мне тоскливо. А как трудно было уйти!

— Ну, хорошо, — сказал рассудительный бас. — А что тебе хочется? Это даже как-то непостижимо. Чего может хотеться, если не хочется работать?

— Ах, как вы не понимаете? Я хочу жить полной жизнью. Я хочу увидеть новые места, получить новые впечатления, ведь здесь все одно и то же…

— Отставить! — рявкнул оловянный голос. — Болтовня! Одно и то же — это хорошо. Постоянный прицел. Ясно? Повторите!

— Ах, да ну вас с вашими командами…

Разговаривали, несомненно, машины. Перец не видел их и никак не мог их себе представить, но ему чудилось, будто он притаился под прилавком игрушечного магазина и слушает, как беседуют игрушки, знакомые с детства, только огромные и поэтому страшные. Этот истерический тонкий

голосок принадлежал, конечно, пятиметровой кукле Жанне. На ней было пестрое платье из тюля, и у нее было толстое розовое неподвижное лицо с закаченными глазами, толстые, нелепо растопыренные руки и ноги со склеенными пальцами. А басом говорил медведь, исполинский Винни Пух, едва умещающийся в контейнере, незлобивый, лохматый, набитый опилками, коричневый, со стеклянными глазами-пуговицами. И остальные были игрушками, но Перец еще не мог понять — какими.

— Я полагаю, что следует все-таки тебе поработать, — проворчал Винни Пух. — Ты, милочка, имей в виду, что здесь есть существа, которым повезло гораздо меньше, чем тебе. Например, наш садовник. Ему очень хочется работать. Но он сидит здесь и думает днем и ночью, потому что не окончательно еще разработал план действий. И никто не слыхал от него никаких жалоб. Однообразная работа — это тоже работа. Однообразное удовольствие — это тоже удовольствие. Это еще не причина для разговоров о смерти и тому подобном.

— Ах, вас не поймешь, — сказала кукла Жанна. — То у вас сны всему причиной, то я не знаю что. А у меня предчувствия. Я места себе не нахожу. Я знаю, что будет страшный взрыв, и я вся разлечусь на мельчайшие брызги и превращусь в пар. Я знаю, я видела…

— Отставить! — грянул оловянный голос. — Не терплю! Что вы знаете о взрывах? Вы можете бежать к горизонту с любой скоростью и под любым углом. И тот, кому надо, достанет вас с любого расстояния, и это будет настоящий взрыв, а не какой-нибудь интеллигентский пар. Но разве тот, кому это надо, — я? Никто этого не скажет, а если бы и хотел сказать, то не успел бы. Я знаю, что я говорю. Ясно? Повторите.

Во всем этом было много тупой самоуверенности. Это был наверняка огромный заводной танк. С такой же точно тупой самоуверенностью он перебирал резиновыми гусеницами, карабкаясь через подставленный ботинок.

— Я не знаю, что вы имеете в виду, — сказала кукла Жанна. — Но если я и прибежала сюда, к вам, к единственным близким мне существам, то это, по-моему, еще не означает, что я намерена ради чьего бы то ни было удовольствия бегать к горизонту под какими-то углами. И вообще прошу обратить внимание, что я не с вами разговариваю… А если речь идет о работе, то я не больная, я существо нормальное, и мне удовольствия нужны, как и всем вам. Но это не настоящая работа, какое-то фальшивое удовольствие. Я все жду моего, настоящего, а его нет, нет и нет. И я не знаю, в чем дело, а когда начинаю думать, то додумываюсь до одних глупостей… — Она всхлипнула.

— Н-ну… — пробасил Винни Пух. — В общем-то, да… Конечно… Только… Гм…

— Все правильно! — заметил новый голос, очень звонкий и веселый. — Девочка права… Настоящей работы нет…

— Настоящая работа, настоящая работа! — ядовито проскрипел старик. — Вокруг целые рудники настоящей работы. Эльдорадо! Копи царя Соломона! Вон они ходят вокруг меня со своими больными внутренностями, со своими саркомами, с восхитительными свищами, с аппетитнейшими аденоидами и аппендиксами, с обыкновенным, но таким увлекательным кариесом, наконец! Давайте говорить откровенно. Они мешают, они не дают работать. Я не знаю, в чем тут дело, может быть, они издают какой-нибудь особый запах или излучают неизвестное поле, но когда они находятся рядом со мной, у меня начинается шизофрения. Я раздваиваюсь. Одна половина меня жаждет наслаждения, тянется схватить и сделать необходимое, сладостное,

желанное, а другая впадает в прострацию и забивает все вечными вопросами: а стоит ли, а зачем, морально ли это… Вот вы, я про вас говорю, вы что, работаете?

— Я? — сказал Винни Пух. — Конечно… А как же?.. Странно даже от вас слышать, не ожидал… Я кончаю проектирование вертолета, и потом… Ведь я рассказывал, что создал превосходный тягач, это было такое наслаждение… По-моему, у вас нет оснований сомневаться, работаю ли я.

— Да не сомневаюсь я, не сомневаюсь, — проскрипел старик. (Гнусный такой тряпичный старикашка, не то гоблин, не то астролог, в черной плюшевой мантии с золотыми блестками.) — Вы мне только скажите, где этот тягач?

— Н-ну… Не понимаю даже… Откуда я знаю? И какое мне дело? Сейчас меня интересует вертолет…

— Об этом и речь! — сказал Астролог. — Вам ни до чего нет дела. Вы всем довольны. Вам никто не мешает. Вам даже помогают! Вот вы разродились тягачом, захлебываясь от удовольствия, и люди сейчас же убрали его от вас, чтобы вы не отвлекались на мелочи, а наслаждались бы по большому счету. А вот вы спросите его, помогают ему люди или нет…

— Мне? — взревел Танк. — Дерьмо! Отставить! Когда кое-кто выходит на полигон и решает немного размяться, продлить удовольствие, поиграть, взять цель в азимутальную или, скажем, вертикальную вилку, они поднимают шум и гам, они поднимают крик, от которого становится противно, и любой впадает в расстройство. Но разве я сказал, что этот любой — я? Нет! Этого вы от меня не дождетесь. Ясно? Повторите!

— И я, и я тоже! — затрещала кукла Жанна. — Сколько раз я уже думала, зачем они существуют? Ведь все в мире имеет смысл, правда? А они, по-моему, не имеют. Наверное, их нет, это просто галлюцинации. Когда пытаешься проанализировать их, взять пробу из нижней части, из верхней части, из середины, то обязательно натыкаешься на стену или пробегаешь мимо, или вдруг засыпаешь…

— Они несомненно существуют, глупая вы истеричка! — проскрипел Астролог. — У них есть и верхняя часть, и нижняя, и средняя, и все эти части заполнены болезнями. Я не знаю ничего более восхитительного, никакое другое существо не несет в себе столько объектов наслаждения, как люди. Что вы понимаете в смысле их существования?

— Да бросьте вы усложнять! — сказал звонкий веселый голос. — Они просто красивы. Истинное удовольствие смотреть на них. Не всегда, конечно, но вот представьте себе сад. Пусть это будет сколь угодно прекрасный сад, но без людей он не будет совершенен, не будет закончен. Хоть один вид людей должен обязательно оживлять его. Пусть это будут маленькие люди с голыми конечностями, которые никогда не ходят, а только бегают и бросают камни… или средние люди, рвущие цветы… все равно. Пусть даже лохматые люди, которые бегают на четырех конечностях. Сад без них не сад…

— Кое-кого тоска берет слушать эту бессмыслицу, — заявил Танк. — Вздор! Сады ухудшают видимость, а что касается людей, то кое-кому они мешают беспрерывно, и что-нибудь хорошее о них сказать просто нельзя. Во всяком случае, стоит кому-нибудь дать ха-ароший залп по сооружению, в котором почему-либо находятся люди, как пропадает всякое желание работать, тянет поспать, и любой, кто это сделал, засыпает. Натурально, я говорю это не о себе, но если бы кто-нибудь и сказал это обо мне, разве стали бы вы возражать?

— Что-то вы в последнее время много говорите о людях, — сказал Винни Пух. — С чего бы ни начался разговор, вы обязательно сворачиваете на людей.

— А почему, собственно, и нет? — сейчас же взъелся Астролог. — Вам-то что до этого? Вы оппортунист! А если нам хочется говорить, то мы и будем говорить. Не испрашивая у вас разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста, — грустно сказал Винни Пух. — Просто раньше мы говорили главным образом о живых существах, о наслаждении, о замыслах, а теперь я отмечаю, что люди начинают занимать все большее место в наших разговорах, а значит и в мыслях.

Наступило молчание. Перец, стараясь двигаться бесшумно, переменил позу — лег на бок и поджал колени к животу. Винни Пух не прав. Пусть они говорят о людях, пусть они как можно больше говорят о людях. Они, по-видимому, очень плохо знают людей, и поэтому очень интересно, что же они скажут. Устами младенцев глаголет истина. Когда люди сами говорят о себе, они либо бахвалятся, либо каются. Надоело…

— Вы все достаточно глупы в своих суждениях, — сказал Астролог. — Вот, например, садовник. Я надеюсь, вы понимаете, что я достаточно объективен, чтобы сопереживать удовольствиям моих товарищей. Вы любите сажать сады и разбивать парки. Прекрасно. Сопереживаю. Но скажите на милость, при чем здесь люди? При чем здесь люди, которые поднимают ножку около деревьев, или те, которые делают это иным способом? Я ощущаю здесь некое нездоровое эстетство. Это как если бы, оперируя гланды, я для полноты удовольствия требовал, чтобы оперируемый был при этом замотан в цветную тряпку…

— Просто вы суховаты по натуре, — заметил Садовник, но Астролог не слушал его.

— Или вот вы, — продолжал он, — вы постоянно размахиваете своими бомбами и ракетами, вы рассчитываете упреждения и балуетесь с целеуловителями. Не все ли вам равно, есть ли в сооружении люди или нет? Казалось бы, наоборот, вы могли бы подумать о своих товарищах, обо мне, например. Сшивать раны! — произнес он мечтательно. — Вы представить себе не можете, что это такое — сшивать хорошую рваную рану на животе…

— Опять о людях, опять о людях, — сокрушенно сказал Винни Пух. — Седьмой вечер мы говорим только о людях. Мне странно говорить об этом, но, по-видимому, между вами и людьми возникла некая, пока неопределенная, но достаточно прочная связь. Природа этой связи для меня совершенно неясна, если не считать вас, доктор, для кого люди являются необходимым источником удовольствия… Вообще все это мне кажется нелепым, и, по-моему, настала пора…

— Отставить! — прорычал Танк. — Пора еще не настала.

— Ч-что? — спросил Винни Пух растерянно.

— Пора еще не настала, говорю я, — повторил Танк. — Некоторые, конечно, неспособны знать, настала пора или нет, некоторые — я не называю их — не знают даже о том, что такая пора должна настать, но кое-кто знает совершенно точно, что неизбежно наступит время, когда по людям, находящимся внутри сооружений, стрелять будет не только можно, но даже и нужно! А кто не стреляет — тот враг! Преступник! Уничтожить! Ясно? Повторите!

— Я догадываюсь о чем-то подобном, — неожиданно мягким голосом произнес Астролог. — Рваные раны… Газовая гангрена… Радиоактивный ожог третьей степени…

— Все они призраки, — вздохнула кукла Жанна. — Какая тоска! Какая печаль!..

— Раз уж вы никак не можете кончить говорить о людях, — сказал Винни Пух, — то давайте попытаемся выяснить природу этой связи. Попытаемся рассуждать логически…

— Одно из двух, — сказал новый голос, размеренный и скучный. — Если упомянутая связь существует, то доминантными являются либо они, либо мы.

— Глупо, — сказал Астролог. — При чем здесь «либо»? Конечно, мы.

— А что такое «доминантный»? — спросила кукла Жанна несчастным голосом.

— Доминантный в данном контексте означает превалирующий, — пояснил скучный голос. — Что же касается самой постановки вопроса, то она является не глупой, а единственно верной, если мы собираемся рассуждать логически.

Наступила пауза. Все, видимо, ждали продолжения. Наконец Винни Пух не выдержал и спросил: «Ну?»

— Я не уяснил себе, собираетесь ли вы рассуждать логически? — сказал скучный голос.

— Да, да, собираемся, — загомонили машины.

— В таком случае, принимая существование связи как аксиому, либо они для вас, либо вы для них. Если они для вас и мешают вам действовать в соответствии с законами вашей природы, они должны быть устранены, как устраняется любая помеха. Если вы для них, но вас не удовлетворяет такое положение вещей, они также должны быть устранены, как устраняется всякий источник неудовлетворительного положения вещей. Это все, что я могу сказать по существу вашей беседы.

Никто больше не произнес ни слова, в контейнерах послышалась возня, скрип, щелканье, словно огромные игрушки устраивались спать, утомившись разговором, и еще чувствовалась повисшая в воздухе всеобщая неловкость, как в компании людей, которые долго болтали языками, не щадя ради красного словца ни матери, ни отца, и вдруг почувствовали, что зашли в болтовне слишком далеко. «Влажность что-то поднимается», — проскрипел вполголоса Астролог. «Я уже давно заметила, — пропищала кукла Жанна. — Так приятно: новые цифры…» — «И что это у меня питание барахлит? — проворчал Винни Пух. — Садовник, у вас нет запасного аккумулятора на двадцать два вольта?» — «Ничего у меня нет», — отозвался Садовник. Потом послышался треск, будто отдирали фанеру, механический свист, и Перец вдруг увидел в узкой щели над собой что-то блестящее, движущееся, ему показалось, что кто-то заглядывает к нему в тень между ящиками, он облился холодным потом от ужаса, поднялся, вышел на цыпочках в лунный свет и, сорвавшись, побежал к дороге. Он бежал изо всех сил, и ему все казалось, что десятки странных нелепых глаз провожают его и видят, какой он маленький, жалкий, беззащитный на открытой всем ветрам равнине, и смеются, что тень его гораздо больше его самого и что он от страха забыл надеть ботинки и теперь даже думать боится вернуться за ними.

Он миновал мост через сухой овраг и уже видел перед собой окраинные домики Управления, и уже почувствовал, что задыхается и что босым пальцам нестерпимо больно, и хотел остановиться, когда сквозь шум собственного дыхания услыхал позади дробный топот множества ног. И тогда, вновь потеряв голову от страха, он помчался из последних сил, не чувствуя под собою земли, не чувствуя своего тела, отплевывая липкую тягучую слюну, ничего больше не соображая. Луна мчалась рядом с ним над равниной, а топот приближался и приближался, и он подумал: все,

конец, и топот настиг его, и кто-то огромный, белый, жаркий, как распаленная лошадь, появился рядом, заслонив луну, вырвался вперед и стал медленно удаляться, в неистовом ритме выбрасывая длинные голые ноги, и Перец увидел, что это человек в футболке с номером «14» и в белых спортивных трусах с темной полосой, и Перецу стало еще страшнее. Множественный топот за его спиной не прекращался, слышались стоны и болезненное вскрикивание. Бегут, подумал он истерически. Все бегут! Началось! И они бегут, только поздно, поздно, поздно!..

Он смутно видел по сторонам коттеджи главной улицы и чьи-то замершие лица, но он все старался не отстать от длинноногого человека номер 14, потому что не знал, куда надо бежать и где спасение, а может быть, где-нибудь уже раздают оружие, а я не знаю где, и опять окажусь в стороне, но я не хочу, не могу быть сейчас в стороне, потому что они там, в ящиках, может быть, по-своему и правы, но они тоже мои враги…

Он влетел в толпу, и толпа расступилась перед ним, и перед его глазами мелькнул квадратный флажок в шахматную клетку, и раздались одобрительные возгласы, и кто-то знакомый побежал рядом, приговаривая: «Не останавливайтесь, не останавливайтесь, Перец… Можно дышать ртом… Глубже, глубже, но не останавливайтесь…» Тогда он остановился, и его тотчас обступили и накинули на плечи атласный халат. Раскатистый радиоголос произнес: «Вторым пришел Перец из отдела Научной охраны со временем семь минут двенадцать и три десятых секунды… Внимание, приближается третий!»

Знакомый человек, оказавшийся Проконсулом, говорил: «Вы просто молодец, Перец, я никак не мог ожидать. Когда вас объявили на старте, я хохотал, а теперь вижу, что вас необходимо включить в основную группу. Сейчас идите отдыхайте, а завтра к двенадцати извольте на стадион. Надо будет преодолеть штурмовую полосу. Я вас пущу за слесарные мастерские… Не спорьте, с Кимом я договорюсь». Перец огляделся. Вокруг было много знакомых людей и неизвестных в картонных масках. Неподалеку подбрасывали в воздух и ловили длинноногого мужчину, который прибежал первым. Он взлетал под самую луну, прямой, как бревно, прижимая к груди большой металлический кубок. Поперек улицы висел плакат с надписью «ФИНИШ», а под плакатом стоял, глядя на секундомер, Клавдий-Октавиан Домарощинер в строгом черном пальто и с повязкой «ГЛ. СУДЬЯ» на рукаве. «…И если бы вы бежали в спортивной форме, — бубнил Проконсул, — можно было бы засчитать вам это время официально». Перец отодвинул его локтем и на подгибающихся ногах побрел сквозь толпу.

— …Чем потеть от страха, сидя дома, — говорили в толпе, — лучше заняться спортом.

— То же самое я только что говорил Домарощинеру. Но дело здесь не в страхе, не заблуждайтесь. Следовало упорядочить беготню поисковых групп. Поскольку все и так бегают, пусть хоть бегают с пользой…

— А чья это затея? Домарощинера! Этот своего не упустит. Талант!..

— Напрасно все-таки бегают в кальсонах. Одно дело — выполнять в кальсонах свой долг, это почетно. Но соревноваться в кальсонах — это, по-моему, типичный организационный просчет. Я буду об этом писать…

Перец выбрался из толпы и, шатаясь, побрел по пустой улице. Его тошнило, болела грудь, и он представлял себе, как те, в ящиках, вытянув металлические шеи, с изумлением глядят на дорогу, на толпу в кальсонах и с завязанными глазами, и тщетно силятся понять, какая существует связь

между ними и деятельностью этой толпы, и понять, конечно, не могут, и то, что служит у них источниками терпения, уже готово иссякнуть…

В коттедже Кима было темно, плакал грудной ребенок.

Дверь гостиницы оказалась забита досками, и окна тоже были темными, а внутри кто-то ходил с потайным фонарем, и Перец заметил в окнах второго этажа чьи-то бледные лица, осторожно выглядывающие наружу.

Из дверей библиотеки торчал бесконечно длинный ствол пушки с толстым дульным тормозом, а на противоположной стороне улицы догорал сарай, и по пожарищу бродили озаряемые багровым пламенем люди в картонных масках и с миноискателями.

Перец направился в парк. Но в темном переулке к нему подошла женщина, взяла его за руку и, не говоря ни слова, куда-то повела. Перец не сопротивлялся, ему было все равно. Она была вся в черном, рука ее была теплая и мягкая, и белое лицо светилось в темноте. Алевтина, подумал Перец. Вот она и дождалась своего часа, подумал он с откровенным бесстыдством. А что тут такого? Ведь ждала же. Непонятно почему, непонятно, на что я ей сдался, но ждала именно меня…

Они вошли в дом, Алевтина зажгла свет и сказала:

— Я тебя здесь давно жду.

— Я знаю, — сказал он.

— А почему же ты шел мимо?

В самом деле, почему? — подумал он. Наверное, потому, что мне было все равно.

— Мне было все равно, — сказал он.

— Ладно, это неважно, — сказала она. — Присядь, я сейчас все приготовлю.

Он присел на край стула, положив руки на колени, и смотрел, как она сматывает с шеи черную шаль и вешает ее на гвоздь — белая, полная, теплая. Потом она ушла в глубь дома, и там загудела газовая колонка и заплескалась вода. Он почувствовал сильную боль в ступнях, задрал ногу и посмотрел на босую подошву. Подушечки пальцев были сбиты в кровь, и кровь смешалась с пылью и засохла черными корочками. Он представил себе, как опускает ноги в горячую воду, и как сначала это очень больно, а потом боль проходит и наступает успокоение. «Буду сегодня спать в ванне, — подумал он. — А она пусть иногда приходит и добавляет горячей воды».

— Иди сюда, — позвала Алевтина.

Он с трудом поднялся — ему показалось, что у него сразу болезненно заскрипели все кости — и, прихрамывая, пошел по рыжему ковру к двери в коридор, а в коридоре — по черно-белому ковру в тупичок, где дверь в ванную была уже распахнута, и деловито гудело синее пламя в газовой колонке, и блестел кафель, и Алевтина, нагнувшись над ванной, высыпа́ла в воду какие-то порошки. Пока он раздевался, сдирая с себя задубевшее от грязи белье, она взбила воду, и над водой поднялось одеяло пены, выше краев поднялась белоснежная пена, и он погрузился в эту пену, закрыв глаза от наслаждения и боли в ногах, а Алевтина присела на край ванны и, ласково

улыбаясь, глядела на него, такая добрая, такая приветливая, и не было сказано ни единого слова о документах…

Она мыла ему голову, а он отплевывался и отфыркивался, и думал, какие у нее сильные умелые руки, совсем как у мамы, и готовит она, наверное, так же вкусно, как мама, а потом она спросила: «Спину тебе потереть?» Он похлопал себя ладонью по уху, чтобы выбить воду и мыло, и сказал: «Ну, конечно, еще бы!..» Она продрала ему спину жесткой мочалкой и включила душ.

— Подожди, — сказал он. — Я хочу еще полежать просто так. Сейчас я эту воду выпущу, наберу чистую и полежу просто так, а ты посиди здесь. Пожалуйста.

Она выключила душ, вышла ненадолго и вернулась с табуреткой.

— Хорошо! — сказал он. — Знаешь, мне никогда еще не было здесь так хорошо.

— Ну вот, — улыбнулась она. — А ты все не хотел.

— Откуда же мне было знать?

— А зачем тебе все обязательно знать заранее? Мог бы просто попробовать. Что ты терял? Ты женат?

— Не знаю, — сказал он. — Теперь, кажется, нет.

— Я так и думала. Ты, наверное, ее очень любил. Какая она была?

— Какая она была… Она ничего не боялась. И она была добрая. Мы с нею вместе бредили про лес.

— Про какой лес?

— Как — про какой? Лес один.

— Наш, что ли?

— Он не наш. Он сам по себе. Впрочем, может быть, он действительно наш. Только трудно себе представить это.

— Я никогда не была в лесу, — сказала Алевтина. — Там, говорят, страшно.

— Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не бояться непонятного, тогда все было бы просто.

— А по-моему, просто не надо выдумывать, — сказала она. — Если поменьше выдумывать, тогда на свете не будет ничего непонятного. А ты, Перчик, все время выдумываешь.

— А лес? — напомнил он.

— А что — лес? Я там не была, но попади я туда, не думаю, чтобы очень растерялась. Где лес, там тропинки, где тропинки, там люди, а с людьми всегда договориться можно.

— А если не люди?

— А если не люди, так там делать нечего. Надо держаться людей, с людьми не пропадешь.

— Нет, — сказал Перец. — Это все не так просто. Я вот с людьми прямо-таки пропадаю. Я с людьми ничего не понимаю.

— Господи, да чего ты, например, не понимаешь?

— А ничего не понимаю. Я, между прочим, поэтому и о лесе мечтать начал. Но теперь я вижу, что в лесу не легче.

Она покачала головой.

— Какой же ты еще ребенок, — сказала она. — Как же ты еще никак не можешь понять, что ничего нет на свете, кроме любви, еды и гордости. Конечно, все запутано в клубок, но только за какую ниточку ни потянешь, обязательно придешь или к любви, или к власти, или к еде…

— Нет, — сказал Перец. — Так я не хочу.

— Милый, — сказала она тихонько. — А кто же тебя станет спрашивать, хочешь ты или нет… Разве что я тебя спрошу: и чего ты, Перчик, мечешься, какого рожна тебе надо?

— Мне, кажется, сейчас уже ничего не надо, — сказал Перец. — Удрать бы отсюда подальше и заделаться архивариусом… или реставратором. Вот и все мои желания.

Она снова покачала головой.

— Вряд ли. Что-то у тебя слишком сложно получается. Тебе что-нибудь попроще надо.

Он не стал спорить, и она поднялась.

— Вот тебе полотенце, — сказала она. — Вот здесь я белье положила. Вылезай, будем чай пить. Чаю напьешься с малиновым вареньем и ляжешь спать.

Перец уже выпустил всю воду и, стоя в ванне, вытирался огромным мохнатым полотенцем, когда звякнули стекла и донесся глухой отдаленный удар. И тогда он вспомнил склад техники и глупую истеричную куклу Жанну и крикнул:

— Что это? Где?

— Это машинку взорвали, — отозвалась Алевтина. — Не бойся.

— Где? Где взорвали? На складе?

Некоторое время Алевтина молчала, видимо, смотрела в окно.

— Нет, — сказала она наконец. — Почему на складе? В парке… Вон дым идет… А забегали-то все, а забегали…

Глава десятая

Перец

Леса видно не было. Вместо леса под скалой и до самого горизонта лежали плотные облака. Это было похоже на заснеженное ледяное поле: торосы, снежные барханы, полыньи и трещины, таящие бездонную глубину, и если прыгнуть со скалы вниз, то не земля, не теплые болота, не распростертые ветви остановят тебя, а твердый, искрящийся на утреннем солнце лед, припорошенный сухим снегом, и ты останешься лежать под солнцем на льду, плоский, неподвижный, черный. И еще, если подумать, это было похоже на старое, хорошо выстиранное белое покрывало, наброшенное на верхушки деревьев.

Перец поискал вокруг себя, нашел камешек, покидал его с ладони на ладонь и подумал, какое это все-таки хорошее местечко над обрывом: и камешки здесь есть, и Управление здесь не чувствуется, вокруг дикие колючие кусты, немятая выгоревшая трава, и даже какая-то пташка позволяет себе чирикать, только не надо смотреть направо, где нахально сверкает на солнце свежей краской подвешенная над обрывом роскошная латрина на четыре очка. Правда, до нее довольно далеко, и при желании можно заставить себя вообразить, что это беседка или какой-нибудь научный павильон, но все-таки лучше бы ее не было вовсе.

Может быть, именно из-за этой новенькой, возведенной в прошлую беспокойную ночь латрины лес закрылся облаками. Впрочем, вряд ли. Не станет лес закутываться до горизонта из-за такой малости, он и не такое видел от людей.

Во всяком случае, подумал Перец, я каждое утро смогу приходить сюда. Я буду делать, что мне прикажут, буду считать на испорченном «мерседесе», буду преодолевать штурмовую полосу, буду играть в шахматы с менеджером и попробую даже полюбить кефир — наверное, это не так уж трудно, если большинству людей это удалось. А по вечерам (и на ночь) я буду ходить к Алевтине, есть малиновое варенье и лежать в директорской ванне. В этом даже что-то есть, подумал он: вытираться директорским полотенцем, запахиваться в директорский халат и греть ноги в директорских шерстяных носках. Два раза в месяц я буду ездить на биостанцию получать жалованье и премии, не в лес, а именно на биостанцию, и даже не на биостанцию, а в кассу, не на свидание с лесом и не на войну с лесом, а за жалованьем и за премией. А утром, рано утром, я буду приходить сюда и смотреть на лес — издали, и кидать в него камушки — тоже издали, и когда-нибудь как-нибудь что-нибудь произойдет…

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, а все тот же Домарощинер. В руках у него была толстая папка, и он остановился поодаль, глядя на Переца сверху вниз влажными глазами. Он явно что-то знал, что-то очень важное, и принес сюда к обрыву эту странную тревожную новость, которой не знал никто в мире, кроме него, и ясно было, что все прежнее теперь уже не имеет значения и от каждого потребуется все, на что он способен.

— Здравствуйте, — сказал он и поклонился, прижимая папку к бедру. — Доброе утро. Как отдыхали?

— Доброе утро, — сказал Перец. — Спасибо.

— Влажность сегодня семьдесят шесть процентов, — сообщил Домарощинер. — Температура — семнадцать градусов. Ветра нет. Облачность — ноль баллов. — Он неслышно приблизился, держа руки по швам, и, наклонившись к Перецу корпусом, продолжал: — Дубль-вэ сегодня равно шестнадцати…

— Какое дубль-вэ? — спросил Перец, поднимаясь.

— Число пятен, — быстро сказал Домарощинер. Глаза его забегали. — На солнце, — сказал он. — На с-с-с… — Он замолчал, пристально глядя Перецу в лицо.

— А зачем вы мне это говорите? — спросил Перец с неприязнью.

— Прошу прощения, — быстро сказал Домарощинер. — Больше не повторится. Значит, только влажность, облачность… гм… ветер и… О противостояниях тоже прикажете не докладывать?

— Слушайте, — сказал Перец мрачно. — Что вам от меня надо?

Домарощинер отступил на два шага и склонил голову.

— Прошу прощения, — сказал он. — Возможно, я помешал, но есть несколько бумаг, которые требуют… так сказать, немедленного… вашего личного… — Он протянул Перецу папку, как пустой поднос. — Прикажете доложить?

— Знаете что… — сказал Перец угрожающе.

— Да-да? — сказал Домарощинер. Не выпуская папки, он стал поспешно шарить по карманам, видимо, ища блокнот. Лицо его посинело, как бы от усердия.

Дурак и дурак, подумал Перец, стараясь взять себя в руки. Что с него взять?

— Глупо, — сказал он по возможности сдержанно. — Понимаете? Глупо и нисколько не остроумно.

— Да-да, — сказал Домарощинер. Изогнувшись, придерживая папку локтем и бедром, он бешено строчил в блокноте. — Одну секунду… Да-да?

— Что вы там пишете? — спросил Перец.

Домарощинер с испугом взглянул на него и прочитал:

— «Пятнадцатого июня… Время: семь сорок пять… Место: над обрывом…» Но это — предварительно… Это черновик…

— Слушайте, Домарощинер, — сказал Перец с раздражением. — Какого черта вам от меня надо? Что вы все время за мной шляетесь? Хватит, надоело! (Домарощинер строчил.) И шутка эта ваша глупая, и нечего около меня шпионить. Постыдились бы, взрослый человек… Да перестаньте вы писать, идиот! Глупо же! Лучше бы зарядку сделали или умылись, вы только поглядите на себя, на что вы похожи! Тьфу!

Дрожащими от ярости пальцами он стал застегивать ремешки на сандалиях.

— Правду, наверное, про вас говорят, — пыхтел он, — что вы везде крутитесь и все разговоры записываете. Я думал, это шутки у вас такие дурацкие… Я верить не хотел, я вообще таких вещей не терплю, но вы уж, видно, совсем обнаглели…

Он выпрямился и увидел, что Домарощинер стоит по стойке смирно, и по щекам его текут слезы.

— Да что с вами сегодня? — испугавшись, спросил Перец.

— Я не могу… — пробормотал Домарощинер, всхлипывая.

— Чего не можете?

— Зарядку… Печень у меня… Справка… И умываться.

— Да господи боже мой, — сказал Перец. — Ну не можете и не надо, я просто так сказал… Ну что вы, в самом деле, за мной ходите? Ну поймите вы меня, ради бога, неприятно же это… Я против вас ничего не имею, но поймите…

— Не повторится! — восторженно вскричал Домарощинер. Слезы на его щеках мгновенно высохли. — Никогда больше!

— А ну вас, — сказал Перец устало и пошел сквозь кусты. Домарощинер ломился следом. Паяц старый, подумал Перец. Юродивый…

— Весьма срочно, — бормотал Домарощинер, тяжело дыша. — Только крайняя необходимость… Ваше личное внимание…

Перец оглянулся.

— Какого черта! — воскликнул он. — Это же мой чемодан, отдайте его сюда, где вы его взяли?

Домарощинер поставил чемодан на землю и открыл было кривой от удушья рот, но Перец его слушать не стал, а схватился за ручку чемодана. Тогда Домарощинер, так ничего и не сказав, лег на чемодан животом.

— Отдайте чемодан! — сказал Перец, леденея от ярости.

— Ни за что! — просипел Домарощинер, ерзая коленками по гравию. Папка мешала ему, он взял ее в зубы и обнял чемодан обеими руками. Перец рванул изо всех сил и оторвал ручку.

— Прекратите это безобразие! — сказал он. — Сейчас же!

Домарощинер помотал головой и что-то промычал. Перец расстегнул воротник и растерянно огляделся. В тени дуба неподалеку стояли почему-то два инженера в картонных масках. Поймав его взгляд, они вытянулись и щелкнули каблуками. Тогда Перец, затравленно озираясь, торопливо пошел по дорожке вон из парка. Всякое уже, кажется, бывало, лихорадочно думал он, но это уж совсем… Это они уже сговорились… Бежать, бежать надо! Только как бежать? Он вышел из парка и повернул было к столовой, но на пути его снова оказался Домарощинер, грязный и страшный. Он стоял с чемоданом на плече, синее лицо его было залито не то слезами, не то водой, не то потом, глаза, затянутые белой пленкой, блуждали, а папку со следами клыков он прижимал к груди.

— Не сюда изволите… — прохрипел он. — Умоляю… в кабинет… невыносимо срочно… притом интересы субординации…

Перец шарахнулся от него и побежал по главной улице. Люди на тротуарах стояли столбом, закинув головы и выкатив глаза. Грузовик, мчавшийся навстречу, затормозил с диким визгом, врезался в газетный киоск, из кузова посыпались люди с лопатами и начали строиться в две шеренги. Какой-то охранник прошел мимо строевым шагом, держа винтовку на караул…

Дважды Перец пытался свернуть в переулок, и каждый раз перед ним оказывался Домарощинер. Домарощинер уже не мог говорить, он только мычал и рычал, умоляюще закатывая глаза. Тогда

Перец побежал к зданию Управления. Ким, думал он лихорадочно, Ким не позволит… Неужели и Ким?.. Запрусь в уборной… Пусть попробуют… Ногами буду бить… Теперь все равно…

Он ворвался в вестибюль, и сейчас же с медным дребезгом сводный оркестр грянул встречный марш. Мелькнули напряженные лица, вытаращенные глаза, выгнутые груди. Домарощинер настиг его и погнал по парадной лестнице, по малиновым коврам, по которым никогда никому не разрешалось ходить, через какие-то незнакомые двусветные залы, мимо охранников в парадной форме при орденах, по вощеному скользкому паркету, наверх, на четвертый этаж, и дальше, по портретной галерее, и снова наверх, на пятый этаж, мимо накрашенных девиц, замерших, как манекены, в какой-то роскошный, озаренный лампами дневного света тупик, к гигантской кожаной двери с табличкой «ДИРЕКТОР». Дальше бежать было некуда.

Домарощинер догнал его, проскользнул у него под локтем, страшно, как эпилептик, захрипел и распахнул перед ним кожаную дверь. Перец вошел, погрузился ступнями в чудовищную тигровую шкуру, погрузился всем своим существом в строгий начальственный сумрак приспущенных портьер, в благородный аромат дорогого табака, в ватную тишину, в размеренность и спокойствие чужого существования.

— Здравствуйте, — сказал он в пространство. Но за гигантским столом никого не было. И никто не сидел в огромных креслах. И никто не встретил его взглядом, кроме мученика Селивана на исполинской картине, занимавшей всю боковую стену.

Позади Домарощинер со стуком уронил чемодан. Перец вздрогнул и обернулся. Домарощинер стоял, шатаясь, и протягивал ему папку, как пустой поднос. Глаза у него были мертвые, стеклянные. Сейчас умрет человек, подумал Перец. Но Домарощинер не умер.

— Необычайно срочно… — просипел он, задыхаясь. — Без визы директора невозможно… личной… никогда бы не осмелился…

— Какого директора? — прошептал Перец. Страшная догадка начала смутно формироваться в его мозгу.

— Вас… — просипел Домарощинер. — Без вашей визы… отнюдь…

Перец оперся о стол и, придерживаясь за его полированную поверхность, побрел в обход к креслу, которое показалось ему самым близким. Он упал в прохладные кожаные объятия и обнаружил, что слева стоят ряды разноцветных телефонов, а справа тома в тисненных золотом переплетах, а прямо — монументальная чернильница, изображающая Тангейзера и Венеру, а над нею — белые умоляющие глаза Домарощинера и протянутая папка. Он стиснул подлокотники и подумал: «Ах, так? Дряни вы, сволочи, холопы… Так, да? Ну-ну, подонки, холуи, картонные рыла… Ну хорошо, пусть будет так…»

— Не трясите папкой над столом, — сказал он сурово. — Дайте ее сюда.

В кабинете возникло движение, мелькнули тени, взлетел легкий вихрь, и Домарощинер оказался рядом, за правым плечом, и папка легла на стол и раскрылась, словно бы сама собою, выглянули листы отличной бумаги, и он прочитал слово, напечатанное крупными буквами: «ПРОЕКТ».

— Благодарю вас, — сказал он сурово. — Вы можете идти.

И снова взлетел вихрь, возник и исчез легкий запах пота, и Домарощинер был уже около дверей и пятился, наклонив корпус и держа руки по швам, — страшный, жалкий и готовый на все.

— Одну минутку, — сказал Перец. Домарощинер замер. — Вы можете убить человека? — спросил Перец.

Домарощинер не колебался. Он выхватил малый блокнот и произнес:

— Слушаю вас?

— А совершить самоубийство? — спросил Перец.

— Что? — сказал Домарощинер.

— Идите, — сказал Перец. — Я вас потом вызову.

Домарощинера не стало. Перец откашлялся и потер щеки.

— Предположим, — сказал он вслух. — А что дальше?

Он увидел на столе табель-календарь, перевернул страничку и прочитал то, что было записано на сегодняшний день. Почерк бывшего директора разочаровал его. Директор писал крупно и разборчиво, как учитель чистописания. «Завгруппами 9.30. Осмотр ноги 10.30. Але пудру. Кефир-зефир попроб. Машинизация. Катушка: кто украл? Четыре бульдозера!!!»

К черту бульдозеры, подумал Перец, все: никаких бульдозеров, никаких экскаваторов, никаких пилящих комбайнов искоренения… Хорошо бы заодно кастрировать Тузика — нельзя, жаль… И еще этот склад машин. Взорву, решил он. Он представил себе Управление — вид сверху — и понял, что очень многое нужно взрывать. Слишком многое… Взрывать и дурак умеет, подумал он.

Он выдвинул средний ящик стола и увидел там кипы бумаг, и тупые карандаши, и два филателистических зубцемера, и поверх всего этого — витой золотой генеральский погон. Один погон. Он поискал второй, шаря руками под бумагами, укололся о кнопку и нашел связку ключей от сейфа. Сам сейф стоял в дальнем углу, очень странный сейф, декорированный под сервант. Перец поднялся и пошел через кабинет к сейфу, оглядываясь по сторонам и замечая очень много странного, чего он не заметил раньше.

Под окном стояла хоккейная клюшка, рядом с нею костыль и протез ноги в ботинке с ржавым коньком. В глубине кабинета оказалась еще одна дверь, поперек нее была натянута веревка, а на веревке висели черные плавки и несколько штук носков, в том числе и дырявые. На двери была потемневшая металлическая табличка с вырезанной надписью «СКОТ». На подоконнике стоял полускрытый портьерой небольшой аквариум, в чистой прозрачной воде среди разноцветных водорослей мерно шевелил ветвистыми жабрами жирный черный аксолотль. А из-за картины, изображающей Селивана, торчал роскошный капельмейстерский бунчук с конскими хвостами…

Перец долго возился возле сейфа, подбирая ключи. Наконец он распахнул тяжелую броневую дверцу. Изнутри дверца оказалась оклеена неприличными картинками из фотожурналов для мужчин, а в сейфе почти ничего не было. Перец нашел там пенсне с расколотым левым стеклом, мятый картуз с непонятной кокардой и фотографию незнакомого семейства (оскалившийся отец, мать — губки бантиком и двое мальчиков в кадетской форме). Был там парабеллум, хорошо вычищенный и ухоженный, с единственным патроном в стволе, еще один витой генеральский

погон и железный крест с дубовыми листьями. В сейфе еще была кипа папок, но все они были пустые, и только в самой нижней оказался черновой проект приказа о наложении взыскания на шофера Тузика за систематическое непосещение музея Истории Управления. «Так его, так его, негодяя, — пробормотал Перец. — Подумать только, музей не посещает… Этому делу надо дать ход».

Все время этот Тузик, что за елки-палки? Свет на нем клином сошелся, что ли? То есть в известном смысле сошелся… Кефироман, бабник отвратительный, резинщик… Впрочем, все шоферы резинщики… Нет, это надо прекратить: кефир, шахматишки в рабочее время. Между прочим, что это считает Ким на испорченном «мерседесе»? Или это так и надо — какие-нибудь стохастические процессы… Слушай, Перец, ты что-то очень мало знаешь. Ведь все работают. Никто почти не отлынивает. По ночам работают. Все заняты, ни у кого нет времени. Приказы исполняются, это я знаю, это я сам видел. Вроде все в порядке: охранники охраняют, водители водят, инженеры строят, научники пишут статьи, кассиры выдают деньги…

Слушай, Перец, подумал он, а может быть, вся эта карусель для того и существует, чтобы все работали? В самом деле, хороший механик чинит машину за два часа. А потом? А остальные двадцать два часа? А если к тому же на машинах работают опытные рабочие, которые машин не портят? Само же собой напрашивается: хорошего механика перевести в повара, а повара в механики. Тут не то что двадцать два часа — двадцать два года заполнить можно. Нет, в этом есть какая-то логика. Все работают, выполняют свой человеческий долг, не то что обезьяны какие-нибудь… и дополнительные специальности приобретают… В общем-то нет в этом никакой логики, бардак это сплошной, а не логика… Бог ты мой, я тут стою столбом, а на лес гадят, лес искореняют, лес превращают в парк. Надо скорее что-то делать, теперь я отвечаю за каждый гектар, за каждого щенка, за каждую русалку, я теперь за все отвечаю…

Он засуетился, кое-как закрыл сейф, бросился к столу, отодвинул папку и вытащил чистый лист бумаги из ящика… Но здесь же тысячи людей, подумал он. Установившиеся традиции, установившиеся отношения, они же будут смеяться надо мной… Он вспомнил потного и жалкого Домарощинера и самого себя в приемной у директора. Нет, смеяться не будут. Плакать будут, жаловаться будут… этому… мосье Ахти… Резать будут друг друга. Но не смеяться. Вот это самое ужасное, подумал он. Не умеют они смеяться, не знают они, что это такое и зачем. Люди, подумал он. Люди, и людишки, и человечишки. Демократия нужна, свобода мнений, свобода ругани, соберу всех и скажу: ругайте! Ругайте и смейтесь… Да, они будут ругать. Будут ругать долго, с жаром и упоением, поскольку так приказано, будут ругать за плохое снабжение кефиром, за плохую еду в столовой, дворника будут ругать с особенной страстью: улицы-де который год неметены, шофера Тузика будут ругать за систематическое непосещение бани, а в перерывах будут бегать в латрину над обрывом… Нет, так я запутаюсь, подумал он. Нужен какой-то порядок. Что у меня теперь есть?

Он стал быстро и неразборчиво писать на листке: «Группа Искоренения леса, группа Изучения леса, группа Вооруженной охраны леса, группа Помощи местному населению леса…» Что там еще? Да! «Группа Инженерного проникновения в л.». И еще… «Группа Научной охраны л.». Все, кажется. Так. А чем они занимаются? Странно, мне никогда не приходило в голову, чем же они здесь занимаются. Более того, мне как-то не приходило в голову узнать, чем занимается Управление вообще. Как это можно совмещать искоренение леса с охраной леса, да при этом еще помогать местному населению… Ну вот что, подумал он. Во-первых, никаких искоренений. Искоренение искоренить. Инженерное проникновение, наверное, тоже. Или пусть работают

наверху, внизу им во всяком случае делать нечего. Пусть свои машины разбирают, пусть хорошую дорогу сделают, пусть болото это вонючее засыплют… Тогда что останется? Вооруженная охрана останется. С волкодавами. Ну, вообще-то… Вообще-то лес охранять следует. Только вот… Он припомнил лица известных ему охранников и в сомнении пожевал губами. Н-да… Ну, ладно, ну, предположим. А Управление-то зачем? Я зачем? Распустить Управление, что ли? Ему стало весело и жутко. Вот это да, подумал он. Могу! Распущу — и все, подумал он. Кто мне судья? Я — директор, глава. Приказ — и все!..

Тут он вдруг услышал тяжелые шаги. Где-то совсем рядом. Зазвенели стекляшки на люстре, на веревке колыхнулись сохнущие носки. Перец поднялся и на цыпочках подошел к маленькой дверце. Там, за дверцей, кто-то ходил, неровно, словно спотыкаясь, но больше ничего не было слышно, а в двери не было даже замочной скважины, чтобы посмотреть. Перец осторожно подергал ручку, но дверь не поддалась. «Кто там?» — спросил он громко, приблизив губы к щели. Никто не отозвался, но шаги не стихли — словно пьяный там бродил, заплетаясь ногами. Перец снова подергал ручку, пожал плечами и вернулся на свое место.

В общем, власть имеет свои преимущества, подумал он. Управление я, конечно, распускать не буду, глупо, зачем распускать готовую, хорошо сколоченную организацию? Ее нужно просто повернуть, направить на настоящее дело. Прекратить вторжение в лес, усилить его осторожное изучение, попытаться найти контакты, учиться у него… Ведь они даже не понимают, что такое лес. Подумаешь, лес! Дрова и дрова… Научить людей любить лес, уважать его, ценить, жить его жизнью… Нет, тут много работы. Настоящей, важной. И люди найдутся — Ким, Стоян… Рита… Господи, а менеджер чем плох?.. Алевтина… В конце концов, и этот Ахти тоже, наверное, фигура, умница, ерундой только занят… Мы им покажем, подумал он весело. Мы им еще покажем, черт побери! Ладно. А в каком состоянии у нас текущие дела?

Он придвинул к себе папку. На первом листе было написано следующее:

«ПРОЕКТ ДИРЕКТИВЫ

О ПРИВНЕСЕНИИ ПОРЯДКА

§ 1. На протяжении последнего года Управление по лесу существенно улучшило свою работу и достигло высоких показателей во всех областях своей деятельности. Освоены, изучены, искоренены и взяты под вооруженную и научную охрану многие сотни гектаров лесной территории. Непрерывно растет мастерство специалистов и рядовых работников. Совершенствуется организация, сокращаются непроизводительные расходы, устраняются бюрократические и другие внепроизводственные препоны.

§ 2. Однако наряду с достигнутыми достижениями вредоносное действие Второго закона термодинамики, а также закона больших чисел все еще продолжает иметь место, несколько снижая общие высокие показатели. Нашей ближайшей задачей становится теперь упразднение случайностей, производящих хаос, нарушающих единый ритм и вызывающих снижение темпов.

§ 3. В связи с вышеизложенным предлагается в дальнейшем рассматривать проявления всякого рода случайностей незакономерными и противоречащими идеалу организованности, а прикосновенность к случайностям

(пробабилитность) — как преступное деяние, либо, если прикосновенность к случайности (пробабилитность) не влечет за собой тяжких последствий, как серьезнейшее нарушение служебной и производственной дисциплины.

§ 4. Виновность лица, прикосновенного к случайности (пробабилитика), определяется и измеряется статьями Уголовного Уложения № 62, 64, 65 (исключ. пп. С и О), 113 и 192 п. К или §§ Административного Кодекса 12, 15 и 97.

Примечание. Смертельный исход прикосновенности к случайности (пробабилитности) не является как таковой оправдывающим либо смягчающим обстоятельством. Осуждение, либо взыскание, в этом случае производится посмертно.

§ 5. Настоящая Директива дана .... месяца .... дня .... года. Обратной силы не имеет.

Подпись: Директор Управления (.....)».

Перец облизал пересохшие губы и перевернул страницу. На следующем листе был приказ об отдаче под суд сотрудника группы Научной охраны Х. Тойти в соответствии с Директивой «О привнесении порядка» «за злостное потакание закону больших чисел, выразившееся в поскользнутии на льду с сопутствующим повреждением голеностопного сустава, каковая преступная прикосновенность к случайности (пробабилитность) имела место 11 марта с.г.». Сотрудника Х. Тойти предлагалось впредь во всех документах именовать пробабилитиком Х. Тойти…

Перец щелкнул зубами и посмотрел следующий листок. Это тоже был приказ: о наложении административного взыскания — штрафа в размере четырехмесячного жалованья — посмертно — на собаковода вооруженной охраны Г. де Монморанси, «беспечно позволившего себе быть пораженным атмосферным разрядом (молнией)». Дальше шли заявления об отпусках, просьбы об единовременном пособии по случаю утери кормильца и объяснительная записка некоего Ж. Люмбаго относительно пропажи какой-то катушки…

— Какого черта! — сказал Перец вслух и снова прочитал проект Директивы. Он вспотел. Проект был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Посоветоваться бы с кем-нибудь, тоскливо подумал Перец, этак я совсем пропаду…

Тут дверь распахнулась, и в кабинет, толкая перед собой столик на колесиках, вошла Алевтина, одетая очень изысканно и модно, со строгим и серьезным выражением на умело подкрашенном и припудренном лице.

— Ваш завтрак, — сказала она деликатным голосом.

— Закройте двери и идите сюда, — сказал Перец.

Она закрыла дверь, толкнула столик ногой и, поправляя волосы, подошла к Перецу.

— Ну что, пусик? — сказала она, улыбаясь. — Доволен ты теперь?

— Слушай, — сказал Перец. — Ерунда какая-то. Ты почитай.

Она села на подлокотник, левой обнаженной рукой обняла Переца за шею, а правой обнаженной рукой взяла Директиву.

— Ну, знаю, — сказала она. — Все правильно. В чем дело? Может быть, тебе Уголовное Уложение принести? Прежний директор тоже ни одной статьи не помнил.

— Да нет, подожди, — нетерпеливо сказал Перец. — При чем здесь Уложение… При чем здесь Уложение! Ты читала?

— Не только читала, но и печатала. И стиль правила. Домарощинер ведь писать не умеет, он и читать-то только здесь научился… Кстати, пусик, — сказала она озабоченно, — Домарощинер там ждет, в приемной, ты его во время завтрака прими, он это любит. Он тебе бутерброды делать будет…

— Да плевал я на Домарощинера! — сказал Перец. — Ты мне объясни, что я…

— На Домарощинера плевать нельзя, — возразила Алевтина. — Ты у меня еще пусик, ты у меня еще ничего не понимаешь… — Она надавила Перецу на нос, как на кнопку. — У Домарощинера есть два блокнотика. В один блокнотик он записывает, кто что сказал — для директора, а в другой блокнотик он записывает, что сказал директор. Ты, пусик, это имей в виду и никогда не забывай.

— Подожди, — сказал Перец. — Я хочу с тобой посоветоваться. Вот эту Директиву… этот бред я подписывать не буду.

— Как это — не будешь?

— А вот так. У меня рука не подымется — такое подписать.

Лицо Алевтины стало строгим.

— Пусик, — сказала она. — Ты не упирайся. Ты подпиши. Это же очень срочно. Я тебе потом все объясню, а сейчас…

— Да что тут объяснять? — сказал Перец.

— Ну, раз ты не понимаешь, значит, тебе нужно объяснить. Вот я тебе потом и объясню.

— Нет, ты мне сейчас объясни, — сказал Перец. — Если можешь, — добавил он. — В чем я сомневаюсь.

— Ух ты, мой маленький, — сказала Алевтина и поцеловала его в висок. Она озабоченно поглядела на часы. — Ну, хорошо, ну, ладно.

Она пересела на стол, подложила под себя руки и начала, глядя прищуренными глазами поверх головы Переца:

— Существует административная работа, на которой стоит все. Работа эта возникла не сегодня и не вчера, вектор уходит своим основанием далеко вглубь времен. До сегодняшнего дня он овеществлен в существующих приказах и директивах. Но он уходит и глубоко в будущее, и там он пока еще только ждет своего овеществления. Это подобно прокладке шоссе по трассированному участку. Там, где кончается асфальт, и спиной к готовому участку стоит нивелировщик и смотрит в теодолит. Этот нивелировщик — ты. Воображаемая линия, идущая вдоль оптической оси теодолита, есть неовеществленный административный вектор, который из всех людей видишь только ты и который именно тебе надлежит овеществлять. Понятно?

— Нет, — сказал Перец твердо.

— Это неважно, слушай дальше… Как шоссе не может свернуть произвольно влево или вправо, а должно следовать оптической оси теодолита, так и каждая очередная директива должна служить континуальным продолжением всех предыдущих… Пусик, миленький, ты не вникай, я этого сама ничего не понимаю, но это даже хорошо, потому что вникание порождает сомнение, сомнение порождает топтание на месте, а топтание на месте — это гибель всей административной деятельности, а следовательно, и твоя, и моя, и вообще… Это же азбука. Ни единого дня без директивы, и все будет в порядке. Вот эта Директива о привнесении порядка — она же не на пустом месте, она же увязана с предыдущей Директивой о неубывании, а та увязана с Приказом о небеременности, а этот Приказ логически вытекает из Предписания о чрезмерной возмутимости, а оно…

— Какого черта! — сказал Перец. — Покажи мне эти предписания и приказы… Нет, лучше покажи мне самый первый приказ, тот, который в глубине времен.

— Да зачем это тебе?

— То есть как — зачем? Ты говоришь, что они логично вытекают. Не верю я этому!

— Пусенька, — сказала Алевтина. — Все это ты посмотришь. Все это я тебе покажу. Все это ты прочитаешь своими близоруконькими глазками. Но ты пойми: позавчера не было директивы, вчера не было директивы — если не считать пустякового приказика о поимке машинки, да и то устного… Как ты думаешь, сколько времени может стоять Управление без директив? С утра уже сегодня неразбериха: какие-то люди ходят везде и меняют перегоревшие лампочки, ты представляешь? Нет, пусик, ты как хочешь, а Директиву подписать надо. Я ведь добра тебе желаю. Ты ее быстренько подпиши, проведи совещание с завгруппами, скажи им что-нибудь бодрое, а потом я тебе принесу все, что ты захочешь. Будешь читать, изучать, вникать… Хотя лучше, конечно, не вникай.

Перец взялся за щеки и потряс головой. Алевтина живо соскочила со стола, обмакнула перо в черепную коробку Венеры и протянула вставочку Перецу.

— Ну, пиши, миленький, быстренько…

Перец взял перо.

— Но отменить-то ее можно будет потом? — спросил он жалобно.

— Можно, пусик, можно, — сказала Алевтина, и Перец понял, что она врет. Он отшвырнул перо.

— Нет, — сказал он. — Нет и нет. Не стану я этого подписывать. На кой черт я буду подписывать этот бред, если существуют, наверное, десятки разумных и толковых приказов, распоряжений, директив, совершенно необходимых, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимых в этом бедламе…

— Например? — живо сказала Алевтина.

— Да господи… Да все, что угодно… Елки-палки… Ну хоть…

Алевтина достала блокнотик.

— Ну хотя бы… Ну хотя бы приказ, — с необычайной язвительностью сказал Перец, — сотрудникам группы Искоренения самоискорениться в кратчайшие сроки. Пожалуйста! Пусть все побросаются с обрыва… или постреляются… Сегодня же! Ответственный — Домарощинер… Ей-богу, от этого было бы больше пользы…

— Одну минуту, — сказала Алевтина. — Значит, покончить самоубийством при помощи огнестрельного оружия сегодня до двадцати четырех ноль-ноль. Ответственный — Домарощинер… — Она закрыла блокнот и задумалась. Перец смотрел на нее с изумлением. — А что! — сказала она. — Правильно! Это даже прогрессивнее… Миленький, ты пойми: не нравится тебе директива — не надо. Но дай другую. Вот ты дал, и у меня больше нет к тебе никаких претензий…

Она соскочила на пол и засуетилась, расставляя перед Перецом тарелки.

— Вот тут блинчики, вот тут варенье… Кофе в термосе, горячий, не обожгись… Ты кушай, а я быстренько набросаю проект и через полчаса принесу тебе.

— Подожди, — сказал ошеломленный Перец. — Подожди…

— Ты у меня умненький, — сказала Алевтина нежно. — Ты у меня молодец. Только с Домарощинером будь поласковее.

— Подожди, — сказал Перец. — Ты что, смеешься?

Алевтина побежала к дверям, Перец устремился за нею с криком: «Не сходи с ума!» — но схватить не успел. Алевтина скрылась, и на ее месте, как призрак, возник из пустоты Домарощинер. Уже прилизанный, уже почищенный, уже нормального цвета и по-прежнему готовый на все.

— Это гениально, — тихо сказал он, тесня Переца к столу, — это блестяще. Это наверняка войдет в историю…

Перец попятился от него, как от гигантской сколопендры, наткнулся на стол и повалил Тангейзера на Венеру.

Глава одиннадцатая

Кандид

Он проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево нагруженные, слева направо порожняком. Месяц назад было наоборот, месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось. Послезавтра мы уходим, подумал он.

За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старец окончательно отощал, глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не осталось. Наверное, он скоро умрет, старец этот.

— Что же это ты, Молчун, — плаксиво сказал старец, — совсем у тебя нечего есть. Как у тебя Наву отняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает. Ни утром не бывает, ни в обед, говорил же я

тебе: не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога наслушался и ушел, а разве Колченог понимает, что можно, а что нельзя? И Колченог этого не понимает, и отец Колченога такой же был непонятливый, и дед его такой же, и весь их Колченогов род такой был, вот они все и померли, и Колченог обязательно помрет, никуда не денется… А может быть, у тебя, Молчун, есть какая-нибудь еда, может быть, ты ее спрятал, а? Ведь многие прячут… Так если ты спрятал, то доставай скорее, я есть хочу, мне без еды нельзя, я всю жизнь ем, привык уже… А то Навы теперь у тебя нет, Хвоста тоже деревом убило… Вот у кого еды всегда было много — у Хвоста! Я у него горшка по три сразу съедал, хотя она всегда у него была недобroженная, скверная, потому его, наверное, деревом и убило… Говорил я ему: нельзя такую еду есть…

Кандид встал и поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, повернул налево и направился к площади, к дому Кулака. Старец плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестройно и скучно покрикивали: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей…» В лесу откликалось эхо. Каждое утро Кандиду теперь казалось, что лес придвинулся ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не стало больше, чем прежде, а казалось, что больше. Наверное, потому, что теперь Кандид точно знал, кто они такие, и потому, что он их ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались крики: «Молчун! Молчун!». И он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем, быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища распахивался страшный белый шрам. Ребятишки больше не дразнили Молчуна, они теперь боялись его до смерти, разбегались и прятались при его появлении. О скальпеле в домах шептались по вечерам, а из шкур мертвяков по указанию хитроумного старосты стали делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные…

Посреди площади стоял торчком по пояс в траве Слухач, окутанный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты, — это зрелище им никогда не надоедало. Кандид тоже остановился послушать, и ребятишек как ветром сдуло.

— В битву вступают новые… — металлическим голосом бредил Слухач. — Успешное передвижение… Обширные места покоя… Новые отряды подруг… Спокойствие и слияние…

Кандид пошел дальше. Сегодня с утра голова у него была довольно ясная, и он чувствовал, что способен думать, и стал думать, кто же он такой, этот Слухач, и зачем он. Теперь имело смысл думать об этом, потому что теперь Кандид уже кое-что знал, а иногда ему даже казалось, что он знает очень много, если не все. В каждой деревне есть свой слухач, и у нас есть слухач, и на Выселках, а старец хвастался, какой особенный был слухач в той деревне, которая нынче грибная. Наверное, были времена, когда многие люди знали, что такое Одержание, и понимали, о каких успехах идет речь; и, наверное, тогда ОНИ были в этом заинтересованы, чтобы многие это знали, или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без многих и многих, что все эти деревни — ошибка, а мужики не больше чем козлы… Это произошло, когда научились управлять лиловым туманом, и из лиловых туч вышли первые мертвяки… и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер… и возникли первые отряды подруг… А слухачи остались, и осталась традиция, которую не уничтожали просто потому, что ОНИ об этой традиции забыли. Традиция бессмысленная, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и города, из которых идет разрушение, и эти жуткие бабы-амазонки, жрицы партеногенеза, жестокие и самодовольные повелительницы вирусов, повелительницы

леса, разбухшие от парной воды… и эта гигантская возня в джунглях, все эти Великие Разрыхления и Заболачивания, чудовищная в своей абсурдности и грандиозности затея…

Мысли текли свободно и даже как-то машинально, за этот месяц они успели проложить себе привычные и постоянные русла, и Кандид наперед знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду. У нас в деревне это называется «думать». Вот сейчас возникнут сомнения… Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдуний. Но мало ли кого можно встретить в лесу. Я видел гибель лукавой деревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с рукоедом… Гибель, фабрика, расправа… Это же мои слова, мои понятия. Даже для Навы гибель деревни — это не гибель, а Одержание… Но я-то не знаю, что такое Одержание. Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо, и, может быть, надо говорить не «жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей», а «планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое», «своевременно созревшего, налившегося силой нового на загнившее бесперспективное старое»… Не извращение, а революция. Закономерность. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего и потому, именно потому воображающего, что он понимает все и имеет право судить. Словно маленький мальчик, который негодует на гадкого петуха, так жестоко топчущего ногами бедную курочку…

Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Живой радиоприемник. Значит, есть и живые радиопередатчики… и живые механизмы, и живые машины, да, например, мертвяки… Ну почему, почему все это, так великолепно придуманное, так великолепно организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия — только омерзение и ненависть…

Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.

— Встал тут и глазеет, шерсть на носу, — сказал он. — Один вот тоже все глазел, открутили ему руки-ноги, так больше не глазеет. Когда уходим-то, Молчун? Долго ты мне будешь голову морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, шерсть на носу, и сам я третью ночь у старосты ночую, а нынче вот думаю к Хвостовой вдове пойти ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старый пень этот уже жрать ее не желает, кривится, говорит: перепрело у тебя все, не то что жрать — нюхать невозможно, шерсть на носу… Только к Чертовым Скалам я не пойду, Молчун, а пойду я с тобой в Город, наберем мы там с тобой баб. Если воры встретятся, половину отдадим, не жалко, шерсть на носу, а другую половину в деревню приведем, пусть здесь живут, нечего им там плавать зря, а то одна тоже вот плавала, дали ей хорошенько по соплям — больше не плавает и воды видеть не может, шерсть на носу… Слушай, Молчун, а может, ты наврал про Город и про баб этих? Или, может, привиделось тебе — отняли у тебя воры Наву, тебе с горя и привиделось. Колченог вот не верит: считает, что тебе привиделось. Какой же это Город в озере, шерсть на носу, — все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, шерсть на носу? Мы же там все потонем, там же вода, шерсть на носу, мало ли что там бабы, а я в воду даже за бабами не полезу, я плавать не умею, да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, пока ты их из воды таскать будешь… Ты, значит, в воду полезешь, шерсть на носу, а я на берегу останусь, и мы с тобой этак быстро управимся…

— Ты дубину себе сломал? — спросил Кандид.

— А где я тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу? — возразил Кулак. — Это на болото надо идти — за дубиной. А у меня времени нету, я еду стерегу, чтобы старик ее не сожрал, да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь… Один вот тоже дрался, шерсть на носу…

— Ладно, — сказал Кандид, — я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим, не забудь.

Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился. И никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли и, кажется, ничему не поверили.

…Мертвяки бабам служить не могут, это ты, Молчун, загнул, брат, втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся, ты на мою посмотри, а потом рассказывай. А что деревня потонула, так это же Одержание произошло, это ж всякий и без тебя знает, и при чем тут твои бабы — непонятно… И вообще, Молчун, в Городе ты не был, чего уж там, признайся, мы не обидимся, уж больно занятно ты рассказываешь. А только в Городе ты не был, это мы все знаем, потому что кто в Городе побывает, обратно уже не возвращается… И Наву твою никакие там не бабы, а просто воры отобрали, наши воры, местные. Никогда бы тебе, Молчун, от воров не отбиться. Хотя мужчина ты, конечно, смелый, и как ты с мертвяками обходишься — это просто смотреть страшно…

Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель — понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А они не умели и не хотели обобщать, не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня, и был лес. Лес был сильнее, но лес ведь ВСЕГДА был и всегда будет сильнее. При чем здесь гибель? Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом придавливает — это, конечно, гибель, но тут просто голову нужно иметь на плечах и соображать, что к чему… Когда-нибудь они спохватятся. Когда не останется больше женщин; когда болота подойдут вплотную к домам; когда посреди улиц ударят подземные источники и над крышами повиснет лиловый туман… А может быть, и тогда они не спохватятся — просто скажут: «Нельзя здесь больше жить — Одержание». И уйдут строить новую деревню…

Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшихся за ночь, и готовился завтракать.

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Есть будешь? Хорошие грибы.

— Поем, — сказал Кандид и сел рядом.

— Поешь, поешь, — сказал Колченог. — Навы теперь у тебя нету, когда ты еще без Навы приспособишься… Я слыхал, ты опять уходишь. Кто же это мне сказал? А, ну да, ты же мне и сказал: ухожу, мол. Что это тебе дома не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе было… В Тростники идешь или в Муравейники? В Тростники бы я тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице направо, миновали бы мы с тобой редколесье, в редколесье бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродила, там же и поели бы — хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, да и в других местах тоже не растут, а тут ешь-ешь, и все мало… А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо Хлебного болота, там бы опять поели — хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивляешься, что на болоте да на грязи — и такие злаки произрастают… Ну а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы шли, а там уже и Тростники…

— Мы с тобой идем к Чертовым Скалам, — терпеливо напомнил Кандид. — Выходим послезавтра. Кулак тоже идет.

Колченог с сомнением покачал головой.

— К Чертовым Скалам… — повторил он. — Нет, Молчун, не пройти нам к Чертовым Скалам, не пройти. Это ты знаешь где — Чертовы Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: скалы, мол, Чертовы… Так что к Чертовым Скалам я не пойду, не верю я в них. Вот если бы в Город, например, или еще лучше — в Муравейники, это тут рядом, рукой подать… Слушай, Молчун, а пошли-ка мы с тобой в Муравейники. И Кулак пойдет… Я ведь в Муравейниках, как ногу себе повредил, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просила меня: сходим, говорит, Колченог, в Муравейники… Охота, видишь, было ей посмотреть дупло, где я ногу повредил… А я ей говорю, что не помню я, где это дупло, и вообще, может быть, Муравейников больше нет, давно я там не был…

Кандид жевал гриб и смотрел на Колченога. А Колченог говорил и говорил, говорил о Тростниках, говорил о Муравейниках, глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Кандида. Хороший ты человек, Колченог, и добрый ты, и оратор видный, и староста с тобой считается, и Кулак, а старец тебя просто-таки боится, и не зря был ты лучшим приятелем и спутником известного Обиды-Мученика, человека ищущего и беспокойного, ничего не нашедшего и сгинувшего где-то в лесу… Одна вот только беда: не хочешь ты, Колченог, меня в лес отпускать, жалеешь убогого. Лес — место опасное, гибельное, куда многие ходили, да немногие возвращались, а если возвращались, то сильно напуганные, а бывает, и покалеченные… У кого нога поломана, у кого что… Вот и хитришь ты, Колченог, то сам притворяешься полоумным, то делаешь вид, что Молчуна полоумным считаешь, а в действительности-то уверен ты в одном: если уж Молчуну удалось один раз вернуться, потерявши девчонку, то дважды таких чудес не случается…

— Слушай, Колченог, — сказал Кандид. — Выслушай меня внимательно. Говори что хочешь, думай что хочешь, но я прошу тебя об одном: не бросай меня, пойди в лес со мною. Ты мне очень нужен в лесу, Колченог. Послезавтра мы выходим, и я очень хочу, чтобы ты был с нами. Понимаешь?

Колченог смотрел на Кандида, и выцветшие глаза его были непроницаемы.

— А как же, — сказал он. — Я тебя вполне понимаю. Вместе и пойдем. Как вот отсюда выйдем, свернем налево, дойдем до поля и мимо двух камней — на тропу. Эту тропу сразу отличить можно: там валунов столько, что ноги сломаешь… Да ты ешь грибы, Молчун, ешь, они хорошие… По этой, значит, тропе дойдем мы до грибной деревни, я тебе про нее, по-моему, рассказывал, она пустая, вся грибами поросла, но не такими, как эти, например, а скверными, их мы есть не станем, от них болеют и умереть можно, так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем, а сразу пойдем дальше и спустя время дойдем до чудаковой деревни, там горшки делают из земли, вот додумались! Это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла. И ничего, не заболели даже, только горшки из земли делать стали… У них мы тоже останавливаться не будем, нечего у них там останавливаться, а пойдем мы сразу от них направо — тут тебе и будет Глиняная поляна…

А может быть, не брать мне тебя? — думал Кандид. Ты уже был там, лес тебя уже жевал, и как знать, может быть, ты уже катался по земле, крича от боли и страха, а над тобой нависала, закусив прелестную губку и растопырив детские ладошки, молоденькая девушка. Не знаю, не знаю. Но

идти надо. Захватить хотя бы двух, хотя бы одну, узнать все, разобраться до конца… А дальше? Обреченные, несчастные обреченные. А вернее, счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены; что сильные их мира видят в них только грязное племя насильников; что сильные уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса; что все для них уже предопределено и — самое страшное — что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне, они — реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им — значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта. Но только меня это не интересует, подумал Кандид. Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, я и прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова… Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы, приняли бы меня как своего, пожалели бы — что ж, тогда бы я, наверное, легко и естественно стал бы на сторону этого прогресса, и Колченог и все эти деревни были бы для меня досадным пережитком, с которым слишком уж долго возятся… А может быть, и нет, может быть, это было бы не легко и не просто, я не могу, когда людей считают животными. Но может быть, дело в терминологии, и если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, зажравшиеся тупые бездельники… Идеалы… Великие цели… Естественные законы природы… И ради этого уничтожается половина населения? Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня. Плевать мне на то, что Колченог — это камешек в жерновах ихнего прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили. И если мне не удастся добраться до биостанции — а мне, наверное, не удастся, — я сделаю все, что могу, чтобы эти жернова остановились. Впрочем, если мне удастся добраться до биостанции… М-да. Странно, никогда раньше мне не приходило в голову посмотреть на Управление со стороны. И Колченогу вот не приходит в голову посмотреть на лес со стороны. И этим подругам, наверное, тоже. А ведь это любопытное зрелище — Управление, вид сверху. Ладно, об этом я подумаю потом.

— Значит, договорились, — сказал он. — Послезавтра выходим.

— А как же, — немедленно ответствовал Колченог. — Сразу от меня налево…

На поле вдруг зашумели. Завизжали женщины. Много голосов закричало хором: «Молчун! Эй, Молчун!» Колченог встрепенулся.

— Никак мертвяки! — сказал он, торопливо поднимаясь. — Давай, Молчун, давай не сиди, посмотреть хочу.

Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине.

А. Зеркалов. Послесловие к «Улитке на склоне"

«Вот чем я болен – тоской по пониманию»

Тщета людских усилий, надежд, устремлений – с этой мыслью закрываешь «Улитку на склоне». Эта лучшая, может быть, из повестей Стругацких была написана в роковом 1965 году, сейчас же после крушения хрущевской оттепели, и судьба ее так же необычна, как и содержание. Впервые она была опубликована разъятой на две половины, на «Лес» и «Управление» – то есть выхолощена, лишена музыкального контрапункта – переклички сюжетов, персонажей, картин; лишена единого смысла – чудовищное варварство, невозможное в нормальном обществе... Но оказалось, что и в таком виде книга сохранила свое очарование и обличительную силу. «Лесную» половину, вышедшую заметным тиражом – 65 тысяч, – читатели не только заметили: ее перепечатывали, переписывали от руки (это я видел сам). Вторая половина появилась в иркутском журнале «Байкал», ничтожным тиражом – тысяч пять? – и просто не добралась до читателей, ибо рядом с «Улиткой» журнал поместил дерзкую статью критика Аркадия Белинкова. Одну крамолу помножили на другую, номера журнала изъяли из библиотек, и книга была окончательно загнана в подполье. Вплоть до 1988 года...

Параллель, которую почему-то никто не замечает: «Улитка на склоне» провела в небытии чуть меньше, чем «Мастер и Маргарита», – двадцать три полных года. А ведь есть закон, почти абсолютный: слава или бесславие книг наступают примерно через двадцать лет после публикации – они должны вылежаться, причем не в столе автора и не в редакционном шкафу, а в умах читателей. Книги чахнут без людского общества – как сами люди.

Мы до сих пор не осмыслили «Улитку», ибо не могли ее обсуждать, не могли спорить и гневаться друг на друга и так приходить к истине.

Мы предлагаем это послесловие, чтобы побудить читателей к размышлению. Вот только один из возможных – многих – предметов для спора.

Мораль повести, ее нравственный заряд кажется ясным: «Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали!» Это думает Кандид о «славных подругах», он формулирует точно и исчерпывающе: «Идеалы... Великие идеи... И ради этого уничтожается половина населения! Нет, это не для меня».

Верно – это не для нормальных людей. Верно – в 1965 году не знали, а теперь известно: уничтожена была половина населения. Не в Лесу выдуманном – у нас. И реляции «славных подруг» нам знакомы: «В битву вступают новые... Успешное передвижение... Спокойствие и Слияние...» Знаем цену этому Спокойствию. Хорошо знаем.

Безумные амазонки – властолюбицы, «жрицы партеногенеза» – не более чем носительницы крайней, доведенной до полного уж абсурда, тоталитарной идеи. Как полагается, они стремятся к

уничтожению – по отечественной классической терминологии – «внутреннего врага»; абсурд в том, что таковым объявляется не инакомыслящий – тунеядец, капиталист, еврей, христианин, кулак, интеллигент, коммунист, вредитель и так далее, – а мужчина. Он – объект жгучей и неистовой ненависти. Нелепость? Конечно – в том смысле, что половой инстинкт – штука могучая, и очень трудно представить себе, как можно увлечь женщин столь противоестественной идеей. Стругацкие взяли эту крайнюю модель, привели доказательство ad absurdum, чтобы вскрыть идиотизм той ненависти, к которой мы привыкли: групповой, национальной, расовой и пр. Беда в том, что мы взращены ненавистью, в трех ее водах купаны, полагаем ее нормой бытия – вот нам и напоминают о нашей моральной ущербности, напоминают, если вдуматься, резко и безжалостно.

«Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности». Это говорит странный персонаж – шофер Тузик. Давайте теперь, держа в памяти приговор «славным подругам»: «Мне это страшно, мне это отвратительно...» – поразмыслим над этим субъектом и спросим себя – следом за Перецем: «Все время этот Тузик, что за елки-пилки? Свет на нем клином сошелся, что ли? То есть в известном смысле сошелся...»

В каком смысле?! Не забудьте, читатель, Стругацкие, как и все настоящие писатели, словами не бросаются, и раз уж оно сказано, то свет на Тузике все-таки сходится. «Кефироман, бабник отвратительный, резинщик...» – думает дальше Перец. Так что же в нем особенного? Да то, что имя им легион, как сказано в Евангелии. Миллионы таких, масса – если пользоваться марксистским словарем. «Боже мой... они пьют кефир, они пьют безумно много кефира... они играют в фанты и в бутылочку... они меняются женщинами» – это тоже мысли Переца, и не о Тузике уже, обо всех. И опять о Тузике, о его словаре: «дамочку попытались использовать», «девки... стервы... бабочки... падлы... сучки...», о пятнадцатилетней жене, которой он пытался расплачиваться «с приятелями за приятелевых любовниц». Или – о Домарощинере: «Не везет Домарощинеру. Возьмет новую сотрудницу, поработает она у него полгода – и рожать...» Или – о Квентине, который «по ночам плачет и ходит спать к буфетчице, когда буфетчица не занята с кем-нибудь другим...» Или – об Алевтине, «которую никто никогда не любил нежно и чисто».

Напомним: это ведь не та проза, где сексуальная тема вводится, так сказать, в директивном порядке, для соблазна и представительства, как говорили Ильф и Петров. Это Стругацкие, а они о сексе и эротике писать не любят – не их жанр... Но здесь, помимо Тузика и прочих – и помимо «славных подруг» с их антисексуальным бунтом, – они ввели еще один сюжет, так сказать, обобщающий. Чтобы стать директором Управления, надо переспать с библиотекаршей Алевтиной – это действует без осечки: сейчас же выходит сводный оркестр – играть встречный марш...

Еще один абсурд? Конечно. Но заметьте, это всемогущество секса полностью симметрично с абсурдом полного отказа от него – – в «лесной» части. И напрашивается простенькая мысль, что чудовищная затея «подруг» не на пустом месте выросла, что надоело им зваться сучками и падлами, не хотят больше – без вас обойдемся, козлики...

Это лишь один и не самый показательный сюжет, мы разобрали его только потому, что он неявен, скрыт под очевидными «ужасными чудесами» (Ст. Лем) и Леса, и Управления.

Стругацкие не отказываются от морального суждения, но каждый раз предлагают нам, прежде чем сесть в судейское кресло, поразмыслить. «Улитка на склоне», более чем любая из книг Стругацких, призывает нас к пониманию: в мире есть чуждые нам ценности, составляющие основу жизни других людей. Поэтому нам говорится: «Вот чем я болен – тоской по пониманию».

Игорь Губерман

Справочный материал

Губерман Игорь родился в городе Харькове 07.07.1936 года. Прожил он там всего восемь дней от рождения. И, как говорит сам поэт, «поехал покорять Москву». Мама Игоря окончила консерваторию, отец – экономист. В школе сразу приняли во второй класс, так как уже читал и писал. В 1958 году Игорь окончил МИИТ, и ему вручили диплом инженера-электрика. Трудовая и литературная деятельность По специальности работал в течение нескольких лет. Первый трудовой опыт получил в Башкирии, где работал в качестве машиниста электровоза в течение года. Параллельно трудился над научно-популярными книгами. Как-то удавалось сочетать в то время работу с литературной деятельностью, вспоминает Игорь Губерман. Книги: «Третий триумвират» - о методах и средствах кибернетики в биологии (1965). «Чудеса и трагедии черного ящика» - об исследовании и возможностях мозга (1968). «Освобожденное время» – о руководителе организации «Народная воля» (1975). «Бехтерев. Страницы жизни» - о русском психологе и невропатологе В. Бехтереве (1976). Губерман Игорь Миронович написал сценарии к нескольким документальным фильмам, регулярно публиковал очерки и статьи в периодических изданиях. В пятидесятых годах знакомится с А. Гинзбургом и другими свободомыслящими людьми. Многим из них он очень благодарен, говорит Игорь Губерман, биография могла бы быть совершенно иной. Все больше проявляет себя как поэт-диссидент, пишет сатирические стихи о проблемах страны советов.

Активно участвует в издании подпольного журнала «Евреи в СССР» и публикует там свои произведения. Драматическим моментом его жизни стал арест, по сфабрикованному обвинению. Губерман говорит, что это было предопределено, так как в течение года за ним неотступно следовала черная машина. Отказался дать показания против редактора и его осудили на 5 лет. Отсидел срок он полностью – с 1979 года по 1984. Это «своеобразное времяпрепровождение» добавило ему жизненного опыта, вспоминает Игорь Губерман. "Биография не сложится" и жизнь может подкинуть любой сюрприз. Самое главное, сохранять бодрость духа и быть честным перед собой. В лагере всегда вел дневники, в 1980 году написал «Прогулки вокруг барака», в основу книги легли дневниковые записи (опубликована в 1988 году).

Вернувшись из заключения, долгое время не мог получить прописку в городе и устроиться работать. Спустя год, когда к власти пришел Горбачев, появилась какая-то надежда, что в стране начались изменения. К сожалению, надежды не оправдались. Семья эмигрировала в Израиль. Собственно, решение уехать было принято давно, но помешал отъезду арест Губермана. Поэтому процесс переезда затянулся на долгие годы. Переехал в Израиль в 1987 году, как рядовой репатриант. Никакого «особого» интереса к себе, как к известной личности, не заметил. Но, оказалось, что в Израиле у него много читателей. Поэтому творческие встречи с читателями и концерты начались очень быстро. Всегда разными способами зарабатывал на пропитание, вспоминает Игорь Губерман, биография трудовой деятельности широкая – был и инженером, и прорабом, и слесарем. Когда приехал в Израиль, то был готов ко всему и не ожидал, что сможет прокормить свою семью литературным трудом. Творчество Губермана Губерман Игорь Миронович активно занимается литературной деятельностью. А также пишет свои знаменитые четверостишия. Они отличаются юмором и лаконичностью. Частенько в четверостишиях употребляется ненормативная лексика. Он считает ее естественной частью свободного и великого языка. И это нормально, считает Игорь Губерман, биография многих известных личностей да и лучшие произведения русской литературы не один раз подтверждали, что это вполне естественно. Вот сейчас свободная лексика вернулась в современный литературный язык. Легендарные "гарики" Свои четверостишия называет «гариками». Когда-то он называл их «дацзыбао» (пропагандистские листовки во время революции в Китае). В семидесятые годы, когда вышли две его книги, перед арестом Губермана, их все называли «еврейские дацзыбао». Но Губерман говорит, что это глупо и неправильно. Решил, что лучше всего называть их «гариками», так как его дома называли не Игорем, а Гариком. Он не видит в этом ничего странного или предосудительного. Считает, что это очень органично, так как сейчас многие называют четверостишия своим именем и появилось великое множество «мишиков», «ириков», «мариков». В своих «гариках» Губерман частенько высмеивает российскую действительность. Четверостиший уже более четырех тысяч, несколько изданий пережил сборник «Гарики на каждый день». Игорь Губерман опубликовал и другие сборники стихов: «Гарики (Дацзыбао)» (1988). «Гарики на каждый день» (1992, в двух томах). «Календарь 2000» (1999). «Гарики из Атлантиды» (2009). «Гарики за много лет» (2010). «Гарики из Иерусалима» (2011). Игорь Губерман — автор романа «Штрихи к портрету» (1994). Выступает с чтением стихов, рассказов и воспоминаний в США, России, и других странах. Ведущий ряда программ на русском языке на израильском телевидении. Произведения Губермана переведены на английский, итальянский, немецкий и другие языки. Супруга Губермана Татьяна по образованию филолог. Ко всему, что пишет ее супруг, относится спокойно. Она прекрасно понимает, что образ героя в стихах и автор – это разные вещи. В его семье даже самые «колючие» стихи все воспринимают нормально. Игорь Миронович говорит, что его стихи пытались перевести на другие языки, но из этого ничего не выходит. «Видимо, реалии нашей жизни выразить другим языком довольно трудно», - шутит Губерман.

Гарики на каждый день

Посвящается Юлию Китаевичу -
любимому другу,
автору многих моих стихов.

Эту книгу не следует читать подряд и много, лучше по чуть-чуть из разных глав - по настроению.

Эту книгу не следует читать как источник непререкаемой истины, ибо таковой в природе нет.

Эту книгу не следует читать, ища житейской мудрости, ибо автор сам по ней тоскует.

Эту книгу не следует читать ради полезных мыслей, ибо они всегда противоречат друг другу.

Эту книгу не следует читать в надежде на советы и рецепты,ибо умному они не нужны, а дураку не помогут.

Может быть, эту книгу вообще не следует читать. Но иметь ее дома под рукой - необходимо.

Как многие талантливые художники, выехавшие на Запад в период так называемого застоя, железной рукой удушавшего все ростки свободной мысли, он покинул СССР, чтобы свободно заниматься своим творчеством. Ироничные на первый взгляд строчки его стихов проникнуты поистине сыновней болью за свою униженную
Родину - за Россию, за ее терпеливый страдающий народ, обреченный вот уже более 70 лет нести тяжкий крест искупления за грехи своих предков.

ТОМ I

I. Как просто отнять у народа свободу: ее надо просто доверить народу

Мне Маркса жаль: его наследство
свалилось в русскую купель;
здесь цель оправдывала средство
и средства обосрали цель.

Что ни век, нам ясней и слышней
сквозь надрыв либерального воя:
нет опасней и нету вредней,
чем свобода совсем без конвоя.

По крови проникая до корней
равнодушная тень утомления -
историческая усталость
бесноватого поколения.

Не в силах нас ни смех, ни грех
свернуть с пути отважного,
мы строим счастье сразу всех,
и нам плевать на каждого.

Мне повезло: я знал страну,

одну-единственную в мире,
в своем же собственном плену
в своей живущая квартире.

Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.

Где лгут и себе и друг другу,
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови - по грязи - во тьму.

Когда клубится страх кромешный
И тьму пронзает лай погонь
благословен любой, посмевший
не задувать в себе огонь.

Все социальные системы -
от иерархии до братства -
стучатся лбами о проблемы
свободы, равенства и блядства.

Возглавляя партии и классы,
лидеры вовек не брали в толк,
что идея, брошенная в массы -
это девка, брошенная в полк.

Привычные безмолвствуют народы,
беззвучные горланят петухи;
мы созданы для счастья и свободы,
как рыба - для полета и ухи.

Дороги к русскому ненастью
текли сквозь веру и веселье;
чем коллективней путь ко счастью,
тем горше общее похмелье.

В кромешных ситуациях любых,
запутанных, тревожных и горячих,
спокойная уверенность слепых
кошмарнее растерянности зрячих.

II. Среди немыслимых побед цивилизации мы одиноки, как карась в канализации

Когда-нибудь, впоследствии, потом,
но даже в буквари поместят строчку,
что сделанное скопом и гуртом
расхлебывает каждый в одиночку.

Никто из самых близких поневоле

в мои переживания не вхож,
храню свои душевные мозоли
от любящих участливых галош.

В сердцах кому-нибудь грубя,
ужасно вероятно
однажды выйти из себя
и не войти обратно.

С душою, раздвоенной, как копыто,
обеим чужероден я отчизнам -
еврей, где гоношат антисемиты,
и русский, где грешат сионанизмом.

Не могу эту жизнь продолжать,
а порвать с ней мучительно сложно;
тяжелее всего уезжать
нам оттуда, где жить невозможно.

Мне жаль небосвод этот синий,
жаль землю и жизни осколки;
мне страшно, что сытые свиньи,
страшней, чем голодные волки.

То наслаждаясь, то скорбя,
держась пути любого,
будь сам собой, не то тебя
посадят за другого.

Смешно, как люто гонит нас
в толкучку гомона и пира
боязнь остаться лишний раз
в пустыне собственного мира.

Не прыгая с веком наравне,
будь человеком;
не то окажешься в говне
совместно с веком.

Уехать. И жить в безопасном тепле.
И помнить и мучиться ночью.
Примерзла душа к этой стылой земле,
вросла в эту гиблую почву.

Хотя и сладостен азарт
по сразу двум идти дорогам,
нельзя одной колодой карт
играть и с дьяволом и с Богом.

Друзья всегда чуть привередливы.
И осмеять имеют склонность.
Друзья всегда чуть надоедливы.
Как верность и определенность.

С успехами наук несообразно,
а ноет - и попробуй заглуши -
моя неоперабельная язва
на дне несуществующей души.

Свои черты, штрихи и блики
в душе у каждого и всякого,
но непостижимо разнолики,
мы одиноки одинаково.

Эта мысль - украденный цветок,
просто рифма ей не повредит:
человек совсем не одинок -
кто-нибудь всегда за ним следит.

Звоните поздней ночью мне, друзья,
не бойтесь помешать и разбудить;
кошмарно близок час, когда нельзя
и некуда нам будет позвонить.

III. В борьбе за народное дело я был инородное тело

Красив, умен, слегка сутул,
набит мировоззрением,
вчера в себя я заглянул
и вышел с омерзением.

На дворе стоит эпоха,
а в углу стоит кровать,
когда мне с бабой плохо,
на эпоху мне плевать.

Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно.

Пишу не мерзко, но не ровно;
трудиться лень, а праздность злит.
Живу с еврейкой полюбовно,
хотя душой - антисемит.

Я живу - не придумаешь лучше,
сам себя подпирая плечом,
сам себе одинокий попутчик,
сам с собой не согласный ни в чем.

Пока не поставлена клизма,
я жив и довольно живой;
коза моего оптимизма
питается трын-травой.

Я оттого люблю лежать
и в потолок плюю, что чист и,
что не хочу судьбе мешать
кроить судьбу мою. за все,

Я понял вдруг, что правильно живу,
слава Богу, не бездарен,
по чувству, что во сне и наяву
что происходит, благодарен.

Будущее - вкус не портит мне,
мне дрожать за будущее лень;
думать каждый день о черном дне -
значит делать черным каждый день.

В жизненной коллизии любой
жалостью не суживая веки,
трудно, наблюдая за собой,
думать хорошо о человеке.

На всех перепутьях, что пройдены,
держали, желая мне счастья,
стальные объятия родины
и шею мою, и запястья.

Я не верю вранью отпетому
о просвете во мраке мглистом.
Я отчаялся. И поэтому
стал отчаянным оптимистом.

Во всем со всеми наравне,
как капелька в росе,
в одном лишь был иной, чем все -
что жить не мог в говне.

В этом странном окаянстве -
как живу я? Чем дышу?
Шум и хам царят в пространстве,
шумный хам и хамский шум.

Отнюдь я не был манекен,
однако не был и в балете;
я тот никто, кто был никем,
и очень был доволен этим.

В эту жизнь я пришел не затем,
чтобы въехать в сенат на коне,
и доволен сполна уже тем,
что никто не завидует мне.

Что стал я пролетарием - горжусь;
без устали, без отдыха, без фальши
стараюсь, напрягаюсь и тружусь,
как юный лейтенант - на генеральше.

Всю молодость любил я поезда,
поэтому тот час мне неизвестен,
когда моя счастливая звезда
взошла и не нашла меня на месте.

Мой разум честно сердцу служит,
всегда шепча, что повезло,
что все могло намного хуже,
еще херовей быть могло.

Куда по смерти душу примут,
я с Богом торга не веду;
в раю намного мягче климат,
но лучше общество в аду.

IV. Семья от бога нам дана, замена счастию она.

Женщиной славно от века
все, чем прекрасна семья;
женщина - друг человека
даже, когда он свинья.

Брожу ли я по уличному шуму,
ем кашу или моюсь по субботам,
я вдумчиво обдумываю думу:
за что меня считают идиотом.

Творец дал женскому лицу
способность перевоплотиться:
сперва мы вводим в дом овцу,
а после терпим от волчицы.

Не брани меня, подруга,
отвлекись от суеты,
все и так едят друг друга,
а меня еще и ты.

Я долго жил как холостяк,
и быт мой был изрядно пуст,
хотя имел один пустяк:
свободы запах, цвет и вкус.

Был холост - снились одалиски,
вакханки, шлюхи, гейши, киски;
теперь со мной живет жена,
а ночью снится тишина.

Тому, что в семействе трещина,
всюду одна причина:
в жене пробудилась женщина,
в муже уснул мужчина.

Еще в нас многое звериным
осталось в каждом, но великая
жестокость именно к любимым -
лишь человеку данность дикая.

Тюремщик дельный и толковый,
жизнь запирает нас надолго,
смыкая мягкие оковы
любви, привычности и долга.

Хвалите, бабы, мужиков:
мужик за похвалу
достанет месяц с облаков
и пыль сметет в углу.

Если рвется глубокая связь,
боль разрыва врачуется солью.
Хорошо расставаться, смеясь -
над собой, над разлукой, над болью.

Семья - театр, где не случайно
у всех народов и времен
вход облегченный чрезвычайно
а выход сильно затруднен.

Сегодня для счастливого супружества
у женщины должно быть много мужества.

V. Если жизнь излишне деловая, функция слабеет половая.

Прожив уже почти полвека.
тьму перепробовав работ,
я убежден, что человека
достоин лишь любовный пот.

Время наше будет знаменито
тем, что сотворило страха ради
новый вариант гермафродита:
плотью - мужики, а духом - бляди.

Рассудок, не знававший безрассудства,
и ум, где шалопайство не с руки,
и разум, неотзывчивый для чувства -
от мудрости безмерно далеки.

Не суйся запевалой и горнистом,
но с бодростью и следуй и веди;
мужчина быть обязан оптимистом,
все лучшее имея впереди.

Поскольку жизнь, верша полет,

чуть воспарив - опять в навозе,
всерьез разумен только тот,
кто не избыточно серьезен.

Человек без тугой и упрямой
самовольной повадки в решениях
постепенно становится дамой,
искушенной во всех отношениях.

Сегодня столь же, сколь вчера,
земля полна пиров и казней;
зло обаятельней добра,
и гибче и разнообразней.

За что люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев
и делать пакости им лень.

У скряги прочные запоры,
у скряги темное окно,
у скряги вечные запоры -
он жаден даже на говно.

Лишь перед смертью человек
соображает кончив путь,
что слишком короток наш век,
чтобы спешить куда-нибудь.

Наш разум лишь смехом полощется
от глупости, скверны и пакости,
а смеха лишенное общество
скудеет в клиническом пафосе.

Есть страсти, коим в восхваленье
ничто нигде никем не сказано;
я славлю лень - преодоление
корысти, совести и разума.

Пути добра с путями зла
так перепутались веками,
что и чистейшие дела
творят грязнейшими руками.

Я уважаю лень за то, что
в ее бездейственной тиши
живую мысль питает почва
моей несуетной души.

Господь, лепя людей со скуки,
бывал порою скуповат,
и что частично вышли суки,
он сам отчасти виноват.

Гниенье основ - анекдота основа,
а в нем стало явно видней,
что в русской комедии много смешного,
но мало веселого в ней.

В искушениях всяких и разных
дух и плоть искушать ни к чему;
ничего нет страшней для соблазна,
чем немедля предаться ему.

VI. Кто томим духовной жаждой, тот не жди любви сограждан

На безрассудства и оплошности
я рад пустить остаток дней,
но плещет море сытой пошлости
о берег старости моей.

Если крепнет в нашей стае
климат страха и агрессии,
сразу глупость возрастает
в гомерической прогрессии.

Когда сидишь в собраньях шумных,
язык пылает и горит;
но люди делятся на умных
и тех, кто много говорит.

Опять стою, понурив плечи,
не отводя застывших глаз:
как вкус у смерти безупречен
в отборе лучших среди нас.

Чтоб выжить и прожить на этом свете,
пока земля не свихнута с оси,
держи себя на тройственном запрете:
не бойся, не надейся, не проси.

Весомы и сильны среда и случай,
но главное - таинственные гены,
и как образованием ни мучай,
от бочек не родятся Диогены.

Чтобы плесень сытой скудости
не ползла цвести в твой дом -
из пруда житейской мудрости
черпай только решетом.

Наука наукой, но есть и приметы;
я твердо приметил сызмальства,
что в годы надежды плодятся поэты,
а в пору гниенья - начальство.

Сквозь вековые непогоды
идет, вершит, берет свое -
дурак, явление природы,
загадка замыслов ее.

Добро уныло и занудливо,
и постный вид, и ходит боком,
а зло обильно и причудливо,
со вкусом, запахом и соком.

В цветном разноголосом хороводе,
в мелькании различий и примет
есть люди, от которых свет исходит,
и люди, поглощающие свет.

На людях часто отпечатаны
истоки, давшие им вырасти:
есть люди, пламенем зачатые,
а есть рожденные от сырости.

Всегда и всюду тот, кто странен,
кто не со всеми наравне,
нелеп и как бы чужестранен
в своей родимой стороне.

VII. Увы, но истина - блудница, ни с кем ей долго не лежится

Я охладел к научным книжкам
не потому, что был ленив;
ученья корень горек слишком,
а плод, как правило, червив.

XX век настолько обнажил
конструкции людской несовершенство,
что явно и надолго отложил
надежды на всеобщее блаженство.

В прошлом были те же соль и мыло,
хлеб, вино и запах тополей;
в прошлом только будущее было
радужней, надежней и светлей.

Признаться в этом странно мне,
поскольку в этом мало чести,
но я с собой наедине
глупей, чем если с кем-то вместе.

Толпа естествоиспытателей
на тайны жизни пялит взоры,
а жизнь их шлет к ебени матери
сквозь их могучие приборы.

Живи и пой. Спешить не надо.
Природный тонок механизм:
любое зло - своим же ядом
свой отравляет организм.

Смешно, как тужатся мыслители -
то громогласно, то бесшумно -
забыв, что разум недействителен,
когда действительность безумна.

Высшая у жизни драгоценность -
дух незатухающих сомнений,
низменному ближе неизменность,
Богу - постоянство изменений.

Поэзия - нет дела бесполезней
в житейской деловитой круговерти,
но все, что не исполнено поэзии,
бесследно исчезает после смерти.

Сегодня я далек от осуждений
промчавшейся по веку бури грозной,
эпоха грандиозных заблуждений
останется эпохой грандиозной.

Покой и лень душе немыслимы,
Вся жизнь ее - отдача хлопотам
по кройке платья голым истинам,
раздетым разумом и опытом.

На житейских внезапных экзаменах,
где решенья - крутые и спешные,
очень часто разумных и праведных
посрамляют безумцы и грешные.

На собственном горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.

Чем у идеи вид проворней,
тем зорче бдительность во мне:
ведь у идей всегда есть корни,
а корни могут быть в говне.

Навеки в душе моей пятна
остались, как страха посев,
боюсь я всего, что бесплатно
и благостно равно для всех.

Всю жизнь готов дробить я камни,
пока семью кормить пригоден;
свобода вовсе не нужна мне,
но надо знать, что я свободен.

Наездник, не касавшийся коня,
соитие без общего огня,
дождями обойденная листва -
вот ум, в котором нету шутовства.

Творчеству полезны тупики:
боли и бессилия ожог
разуму и страху вопреки
душу вынуждают на прыжок.

Только в мерзлой трясине по шею,
на непрочности зыбкого дна,
в буднях бедствий, тревог и лишений
чувство счастья дается сполна.

Найдя предлог для диалога,
- Как ты сварил такой бульон?
спрошу я вежливо у Бога.
- По пьянке, - грустно скажет Он.

Нашей творческой мысли затеи
неразрывны с дыханьем расплаты;
сотворяют огонь - прометеи,
применяют огонь - геростраты.

О жизни за гробом забота
совсем не терзает меня;
вливаясь в извечное что-то,
уже это буду не я.

Мудрость Бога учла заранее
пользу вечного единения:
где блаженствует змей познания,
там свирепствует червь сомнения.

В толпе прельстительных идей
и чистых мыслей благородных
полно пленительных блядей,
легко доступных, но бесплодных.

Во всех делах, где ум успешливый
победу праздновать спешит,
он ловит грустный и усмешливый
взгляд затаившейся души.

Мы тревожны, как зябкие зяблики,
жить уверенно нету в нас сил:
червь сомнения жил, видно, в яблоке,
что когда-то Адам надкусил.

Нам глубь веков уже видна
неразличимою деталью,
и лишь историку дана

возможность врать документально.

Уйду навсегда в никуда и нигде,
а все, что копил и вынашивал,
миг отразится в текучей воде
проточного времени нашего.

Как не торжествует зло и свинство,
а надежды теплятся, упорны:
мир спасет святое триединство
образа, гармонии и формы.

Два смысла в жизни - внутренний и внешний,
у внешнего - дела, семья, успех;
а внутренний - неясный и нездешний -
в ответственности каждого за всех.

Должно быть потому на берегу
топчусь я в недоверии к судьбе,
что в тайне сам себя я берегу
от разочарования в себе.

Наш ум и задница - товарищи,
хоть их союз не симметричен:
талант нуждается в седалище,
а жопе разум безразличен.

Бежишь, почти что настигая,
пыхтишь в одежде лет и знаний,
хохочет истина нагая,
колыша смехом облик задний.

VIII. Счастливые потом всегда рыдают, что вовремя часов не наблюдают

Я враг дискуссий и собраний,
и в спорах слова не прошу;
имея истину в кармане,
в другом закуску я ношу.

Как счастье ни проси и ни зови,
подачки его скупы или круты:
дни творчества, мгновения любви,
надежды и доверия минуты.

Зря и глупо иные находят,
что ученье - пустяк безразличный:
человек через школу проходит
из родильного дома в публичный.

Чтоб жизнь испепелилась не напрасно,
не мешкай прожигать ее дотла;
никто не знает час, когда пространство

разделит наши души и тела.

Из лет, надеждами богатых,
навстречу ветру и волне
мы выплываем на фрегатах,
а доплываем - на бревне.

Счастье - что подвижны ум и тело,
что спешит удача за невзгодой,
счастье - осознание предела,
данное нам веком и природой.

Анахорет и нелюдим
и боязливец неудачи
приходит цел и невредим
к покойной старости собачей.

Как молод я был! Как летал я во сне!
В года эти нету возврата.
Какие способности спали во мне!
Проснулись и смылись куда-то.

По времени скользя и спотыкаясь,
мы шьемся сквозь минуты и года,
и нежную застенчивую завязь
доводим до трухлявого плода.

Мне жаль потерь и больно от разлук,
но я не сожалею, оглянувшись,
о том далеком прошлом, где споткнувшись,
я будущее выронил из рук.

Кто несуетливо и беспечно
время проводил и коротал, мы глупы,
к старости о жизни знает нечто
большее, чем тот, кто процветал.

Сперва, резвясь на жизненном просторе,
словно молодость сама;
умнеем после первого же горя,
а после терпим горе от ума.

Деньгами, славой и могуществом
пренебрегал сей прах и тлен;
из недвижимого имущества
имел покойный только член.

Ты пишешь мне, что все темно и плохо,
Все жалким стало, вянущим и слабым;
но, друг мой, не в ответе же эпоха
за то, что ты устал ходить по бабам.

Когда весна, теплом дразня,
скользит по мне горячим глазом,

ужасно жаль мне, что нельзя
залечь на две кровати разом.

С каждым годом суетней планета,
с каждым днем кишение быстрей,
губят вырастающих поэтов
гонор, гонорар и гонорея.

Дымись, покуда не погас,
и пусть волнуются придурки -
когда судьба докурит нас,
куда швырнет она окурки.

В нашем климате, слезном и сопельном
исчезает, почти забываемый,
оптимизм, изумительный опиум,
из себя самого добываемый.

Надо жить наобум, напролом,
наугад и на ощупь во мгле,
ибо нынче сидим за столом,
а назавтра лежим на столе.

Люблю апрель - снега прокисли,
журчит капель, слезой звеня,
и в голову приходят мысли
и не находят в ней меня.

Какое счастье, что вокруг
живут просторно и привольно
слова и запах, цвет и звук,
фактура, линия и форма.

Все лучшее, что делается нами
весенней созидательной порой,
творится не тяжелыми трудами,
а легкою искрящейся игрой.

Гори огнем, покуда молод,
подругу грей и пей за двух,
незримо лижет вечный холод
и тленный член, и пленный дух.

Чтобы в этой жизни горемычной
быть милей удаче вероятной,
молодость должна быть энергичной,
старость, по возможности - опрятной.

Случилось нынче на потеху.
что я, стареющий еврей,
вдруг отыскал свой ключ к успеху,
но не нашел к нему дверей.

Мы сами вяжем в узел нити

узора жизни в мироздании,
причина множества событий -
в готовном общем ожидании.

Возраст одолев, гляжу я сверху:
все мираж. иллюзия, химера;
жизнь моя - возведенная церковь,
из которой выветрилась вера.

Теперь я понимаю очень ясно,
и чувствую и вижу очень зримо:
неважно, что мгновение прекрасно,
а важно, что оно неповторимо.

Счет лет ведут календари
морщинами подруг,
и мы стареем - изнутри,
снаружи и вокруг.

Наш путь из ниоткуда в никуда -
такое краткосрочное событие,
что жизни остается лишь черта
меж датами прибытия-убытия

Бесплоден, кто в пору цветения
обидчив, уныл и сердит;
гниение - форма горения,
но только ужасно смердит.

Везде долги: мужской, супружеский,
гражданский, родственный и дружеский,
долг чести, совести, пера,
и кредиторов до хера.

Вот человек. Он всем доволен.
И тут берет его в тиски
Потребность в горечи и боли,
и жажда грусти и тоски.

Ах, юность, юность! Ради юбки
самоотверженно и вдруг
душа кидается в поступки,
производимые из брюк.

Не всякий миг пружинит в нас
готовность к подвигам и бедам,
и часто мы свой звездный час
проводим, сидя за обедом.

Эпохи крупных ослеплений
недолго тянутся на свете,
залившись кровью поколений,
рожденных жить в эпохи эти.

Взросление - пожизненный урок
умения творить посильный пир,
и те, кто не построил свой мирок,
охотно перестраивают мир.

Не тужи, дружок, что прожил
ты свой век не в лучшем виде:
все про всех одно и то же
говорят на панихиде.

IX. Увы, но улучшить бюджет нельзя, не запачкав манжет

Наследства нет, а мир суров;
что делать бедному еврею?
Я продаю свое перо,
и жаль, что пуха не имею.

Не плачься, милый, за вином
на мерзость, подлость и предательство;
связав судьбу свою с говном,
терпи его к себе касательство.

Бюрократизм у нас от немца,
а лень и рабство - от татар,
и любопытно присмотреться,
откуда винный перегар.

Родясь не обезьяной и не сфинксом,
я нитку, по которой стоит жить,
стараюсь между святостью и свинством
подальше от обоих проложить.

Печальный знак несовершенства
есть в быте нашего жилья:
везде угрюмое мошенство,
и нет веселого жулья.

Мы сохранили всю дремучесть
былых российских поколений,
но к ним прибавили пахучесть
своих духовных выделений.

Мужик, теряющий лицо,
почуяв страх едва,
теряет, в сущности, яйцо,
а их - всего лишь два.

В любимой сумрачной отчизне
я понял ясно и вполне,
что пошлость - верный спутник жизни,
тень на засаленной стене.

Высокий свет в грязи погас,
фортуна новый не дарует;
блажен, кто верует сейчас,
но трижды счастлив, .

С любым доброжелателен и прост,
ни хитростью не тронут, ни коварством,
я выжига, пройдоха и прохвост,
кто ворует. когда имею дело с государством

Скука. Зависть. Одиночество.
Липкость вялого растления.
Потребительское общество
без продуктов потребления.

Совсем на жизнь я не в обиде,
ничуть свой жребий не кляну;
как все, в говне по шею сидя,
усердно делаю волну.

Блажен, заставший время славное
во весь размах ума и плеч, идея,
но есть эпохи, когда главное -
себя от мерзости сберечь.

Есть в каждой нравственной системе
общая для всех:
нельзя и с теми быть, и с теми,
не предавая тех и тех.

Мои способности и живость
карьеру сделать мне могли,
но лень, распутство и брезгливость
меня, по счастью, сберегли.

X. Живу я более, чем умеренно, страстей не более, чем у мерина

Бывает - проснешься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;
но к завтраку это проходит.

Не жаворонок я и не сова,
и жалок в этом смысле жребий мой:
с утра забита чушью голова,
а к вечеру набита ерундой.

Дивный возраст маячит вдали -
когда выцветет все, о чем думали,
когда утром ничто не болит
будет значить, что мы уже умерли.

Моих друзей ласкают Музы,
менять лежанку их не тянет,
они солидны, как арбузы:
растет живот и кончик вянет.

Изведав быстрых дней течение,
я не скрываю опыт мой:
ученье - свет, а неучение -
уменье пользоваться тьмой.

Моей душе привычен риск,
но в час разлуки с телом бренным
ей сам Господь предъявит иск
за смех над стадом соплеменным.

Радость - ясноглазая красотка,
у покоя - стеганный халат,
у надежды - легкая походка,
скепсис плоскостоп и хромоват.

Неволя, нездоровье, нищета -
солисты в заключительном концерте,
где кажется блаженством темнота
неслышно приближающейся смерти.

Весенние ликующие воды
поют, если вовлечься и прильнуть,
про дикую гармонию природы
и знать о нас не знающей ничуть.

Умру за рубежом или в отчизне,
с диагнозом не справятся врачи:
я умер от злокачественной жизни,
какую с наслаждением влачил.

Душа отпылала, погасла,
состарилась, влезла в халат,
но ей, как и прежде, неясно, и фактом,
что делать и кто виноват.

Я жил отменно: жег себя дотла,
со вкусом пил, молчал, когда молчали,
что печаль моя светла,
оправдывал источники печали.

Наружу круто выставив иголки,
укрыто провожу остаток дней;
душе милы и ласточки, и волки,
но мерзостно обилие свиней.

НЕ В СИЛАХ ЖИТЬ Я КОЛЛЕКТИВНО:
ПО ВОЛЕ ТЯГОСТНОГО РОКА
МНЕ С ИДИОТАМИ - ПРОТИВНО,
А СРЕДИ УМНЫХ - ОДИНОКО.
ЖИВЯ ЛЕГКО И СИРОТЛИВО,
БЛАЖЕН, КАК ПАЛЬМА НА БОЛОТЕ,
ЕВРЕЙ СЛАВЯНСКОГО РАЗЛИВА,
АНТИСЕМИТ БЕЗ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ.

I. Вот женщина: она грустит, что зеркало ее толстит.

Кто ищет истину, держись
у парадокса на краю;
вот женщины: дают нам жизнь,
а после жить нам не дают.

Добро со злом природой смешаны,
как тьма ночей со светом дней;
чем больше ангельского в женщине,
тем гуще дьявольского в ней.

Кичились майские красотки
надменной грацией своей;
дохнул октябрь - и стали тетки,
тела давно минувших дней.

Все переменилось бы кругом,
если бы везде вокруг и рядом
женщины раскинули умом,
как сейчас раскидывают задом.

Ум хорош, но мучает и сушит,
и совсем ненадобен порой;
женщина имеет плоть и душу,
думая то первой, то второй.

Послабленье народу вредит,
ухудшаются нравы столичные,
одеваются девки в кредит,
раздеваются за наличные.

Ключ к женщине - восторг и фимиам,
ей больше ничего от нас не надо,
и стоит нам упасть к ее ногам,
как женщина, вздохнув, ложится рядом.

У женщин юбки все короче;
коленных чашечек стриптиз
напоминает ближе к ночи,
что существует весь сервиз.

Трепещет юной девы сердце

над платьев красочными кучами:
во что одеться, чтоб раздеться
как можно счастливей при случае?

Вот женщину я обнимаю,
она ко мне льнет, пламенея,
а Ева, я вдруг понимаю,
и яблоко съела, и змея.

Мы дарим женщине цветы,
звезду с небес, круженье бала,
и переходим с ней на ты,
а после дарим очень мало.

В мужчине ум - решающая ценность
и сила - чтоб играла и кипела,
а в женщине пленяет нас душевность
и многие другие части тела.

Плевать нам на украденные вещи,
пускай их даже сдернут прямо с тела,
бандиты омерзительны для женщин
за то, что раздевают их без дела.

Бабы одеваются сейчас,
помня, что слыхали от подружек:
цель наряда женщины - показ,
что и без него она не хуже.

Одна из тайн той женской прелести,
что не видна для них самих -
в неясном, смутном, слитном шелесте
тепла, клубящегося в них.

Ах, ветер времени зловещий,
причина множества кручин!
Ты изменяешь форму женщин
и содержание мужчин.

Все нежней и сладостней мужчины,
женщины все тверже и железней;
скоро в мужиках не без причины
женские объявятся болезни.

Всегда мне было интересно,
как поразительно греховно
духовность женщины - телесна,
а тело - дьявольски духовно.

Процесс эмансипации не сложен
и мною наблюдался много раз:
везде, где быть мужчиной мы не можем,
подруги ускользают из-под нас.

Мы шли до края и за край
и в риске и в чаду,
и все, с кем мы знавали рай,
нам встретятся в аду.

Суров к подругам возраста мороз,
выстуживают нежность ветры дней,
слетают лепестки с увядших роз,
и сделались шипы на них видней.

Природа женская лиха
и много мужеской сильней,
но что у бабы вне греха,
то от лукавого у ней.

КАК СОЛОМОН О РОЗЕ

Под грудой книг и словарей,
грызя премудрости гранит,
вдруг забываешь, что еврей:
но в дверь действительность звонит.

Такой уже ты дряхлый и больной,
трясешься, как разбитая телега,
- На что ты копишь деньги, старый Ной?
- На глупости. На доски для ковчега.

Никто, на зависть прочим нациям,
берущим силой и железом,
не склонен к тонким операциям
как те, кто тщательно обрезан.

В природе русской флер печали
висит меж кущами ветвей;
о ней не раз еще ночами
вздохнет уехавший еврей.

Я сын того таинственного племени,
не знавшего к себе любовь и жалость,
которое горело в каждом пламени
и сызнова из пепла возрождалось.

Мы всюду на чужбине, и когда
какая ни случится непогода,
удвоена еврейская беда
бедою приютившего народа.

Везде одинаков Господень посев,
и врут нам о разнице наций
все люди - евреи, и просто не все
нашли пока смелость признаться.

За года, что ничуть я не числю утратой,
за кромешного рабства глухие года

столько русской земли накопал я лопатой,
что частицу души в ней зарыл навсегда.

У времени густой вокзальный запах,
и в будущем объявятся следы:
история, таясь на мягких лапах,
народ мой уводила от беды.

Живым дыханьем фразу грей,
и не гони в тираж халтуру;
сегодня только тот еврей,
кто теплит русскую культуру.

Кто умер, кто замкнулся, кто уехал;
брожу один по лесу без деревьев,
и мне не отвечает даже эхо -
наверно, тоже было из евреев.

В домах родильных вылезают
все одинаково на свет,
но те, кого не обрезают,
поступят в университет.

За долгие столетия, что длится
кромешная резня в земном раю,
мы славно научились веселиться
у рва на шевелящемся краю.

Сегодняшний день лишь со временем
откроет свой смысл и цену;
Москва истекает евреями
через отверстую Вену.

Век за веком роскошными бреднями
обставляли погибель еврея;
а века были так себе, средние,
дальше стало гораздо новее.

По спирту родственность имея,
коньяк не красит вкус портвейну,
еврей-дурак не стал умнее
от соплеменности Эйнштейну.

За все на евреев найдется судья.
За живость. За ум. За сутулость.
За то, что еврейка стреляла в вождя.
За то, что она промахнулась.

Русский климат в русском поле
для жидов, видать, с руки:
сколько мы их не пололи,
все цветут - как васильки.

Если надо - язык суахили,

сложный звуком и словом обильный,
чисто выучат внуки Рахили
и фольклор сочинят суахильный.

При всей нехватке козырей
в моем пред Господом ответе,
весом один: я был еврей
в такое время на планете.

Без выкрутасов и затей,
но доводя до класса экстра,
мы тихо делали детей,
готовых сразу же на экспорт.

Влияли слова Моисея на встречного,
разумное с добрым и вечное сея,
и в пользу разумного, доброго, вечного
не верила только жена Моисея.

Пока мыслителей тревожит,
меня волнует и смешит,
что без России жить не может
на белом свете русский жид.

Прощай, Россия, и прости,
я встречу смерть уже в разлуке -
от пули, голода, тоски,
но не от мерзости и скуки.

Люблю листки календарей,
где знаменитых жизней даты:
то здесь, то там живал еврей,
случайно выживший когда-то.

Еврей у всех на виду,
еврей у судьбы на краю
упрямо дудит в дуду
обрезанную свою.

Отца родного не жалея,
когда дошло до словопрения,
в любом вопросе два еврея
имеют три несхожих мнения.

Если к Богу допустят еврея -
что он скажет, вошедши с приветом?
- Да, я жил в интересное время,
но совсем не просил я об этом.

Когда народы, распри позабыв,
в единую семью соединятся,
немедля обнаружится мотив
сугубого вреда одной из наций.

Еврейство - очень странный организм,
питающийся духом ядовитым,
еврею даже антисемитизм
нужнее, чем еврей - антисемитам.

Евреям придется жестоко платить
за то, что посмели когда-то
дух русского бунта собой воплотить
размашистей старшего брата.

В годы, обагренные закатом,
неопровержимее всего
делает еврея виноватым
факт существования его.

Не золото растить, сажая медь,
не выдумки выщелкивать с пера,
а в гибельном пространстве уцелеть -
извечная еврейская игра.

Сквозь королей и фараонов,
вождей, султанов и царей,
оплакав смерти миллионов,
идет со скрипочкой еврей.

За стойкость в безумной судьбе,
за смех, за азарт, за движение -
еврей вызывает к себе
лютое уважение.

Я еврея в себе убивал,
дух еврейства себе запретил,
а когда сокрушил наповал,
то евреем себя ощутил.

II. Не стесняйся, пьяница, носа своего, он ведь с нашим знаменем цвета одного

Живя в загадочной отчизне,
из ночи в день десятки лет
мы пьем за русский образ жизни,
где образ есть, а жизни нет.

Понять без главного нельзя
твоей сплоченности, Россия;
своя у каждого стезя,
одна у всех анестезия.

Не мучась совестью нисколько,
живу года в хмельном приятстве;
Господь всеведущ не настолько,
чтобы страдать о нашем блядстве.

Не будь на то Господня воля,
мы б не узнали алкоголя;
а, значит, пьянство не порок,
а высшей благости урок.

Мне повезло на тех, кто вместе
со мной в стаканах ищет дно;
подлей, тем больше чести
кто с ним не заодно.

Святая благодать - влеченье к пьянству.
И не понять усохшему врачу: чем век
я приколочен временем к пространству, тому,
а сквозь бутыль - теку, куда хочу.

Никто на свете не судья,
когда к бутылям, тьмой налитым,
нас тянет жажда забытья
и боль по крыльям перебитым.

Мы пьем и разрушаем этим печень,
кричат нам доктора в глухие души,
но печень мы при случае полечим,
а трезвость иссушает наши души.

В любви и пьянстве есть мгновение,
когда вдруг чувствуешь до дрожи,
что смысла жизни откровение
тебе сейчас явиться может.

Не в том ли загадка истории русской
и шалого духа отпетого,
что вечно мы пьем, пренебрегши закускою
и вечно косые от этого?

Крутится судьбы моей кино,
капли будней мерно долбят темя,
время захмеляет, как вино,
а вино целительно, как время.

Какое счастье - рознь календарей
и мой диапазон души не узкий:
я в пятницу пью водку, как еврей,
в субботу после бани пью, как русский.

Одни с восторгом: заря заката!
Другие с плачем: закат зари!
А я вот выпил, но маловато,
еще не начал теплеть внутри.

Подвыпив с умудренным визави,
люблю поговорить лицеприятно
о горестных превратностях любви
России к россиянам и обратно.

К родине любовь у нас в избытке
теплится у каждого в груди,
лучше мы пропьем ее до нитки,
но врагу в обиду не дадим.

Я к дамам, одряхлев, не охладел,
я просто их оставил на потом:
кого на этом свете не успел
надеюсь я познать уже на том.

Когда однажды ночью я умру,
то близкие, надев печаль на лица,
пускай на всякий случай поутру
мне все же поднесут опохмелиться.

День, который плохо начат,
не брани, тоскливо ноя,
потому что и удача
утром спит от перепоя.

III. Вожди дороже нам вдвойне, когда они уже в стене

Во всех промелькнувших веках
любимые публикой цезари
ее самое впопыхах
душили, топтали и резали.
Но публика это терпела,
и цезарей жарко любили,
поскольку за правое дело
всегда эти цезари были.

Напрасно мы стучимся лбом о стену,
пытаясь осветить свои потемки;
в безумии режимов есть система,
которую увидят лишь потомки.

Сезонность матери-природы
на нашу суетность плюет,
и чем светлей рассвет свободы,
тем глуше сумерки ее.

Пахан был дух и голос множества,
в нем воплотилось большинство,
он был великое ничтожество,
за что и вышел в божество.

Ни вверх не глядя, ни вперед,
сижу с друзьями-разгильдяями,
и наплевать нам, чья берет
в борьбе мерзавцев с негодяями.

Ждала спасителя Россия,
жила, тасуя фотографии,
и, наконец, пришел Мессия,
и не один, а в виде мафии.

Нам век не зря калечил души,
никто теперь не сомневается,
что мир нельзя ломать и рушить,
а в рай нельзя тащить за яйца.

России посреди, в навечной дреме,
лежит ее растлитель и творец;
не будет никогда порядка в доме,
где есть не похороненный мертвец.

Как у тюрем, стоят часовые
у Кремля и посольских дворов,
пуще всех охраняет Россия
иностранцев, вождей и воров.

Сбылись грезы Ильича,
он лежит, откинув тапочки,
но горит его свеча:
всем и всюду все до лампочки.

В нашей жизни есть кулисы,
а за ними - свой мирок,
там общественные крысы
жрут общественный пирог.

В России так нелепо все смешалось,
и столько обратилось в мертвый прах,
что гнев иссяк. Осталась только жалость.
Презрение. И неизбывный страх.

Сын учителя, гений плюгавый -
уголовный режим изобрел,
а покрыл его кровью и славой -
сын сапожника, горный орел.

Наши мысли и дела - белее снега,
даже сажа наша девственно бела;
только зря наша российская телега
лошадей своих слегка обогнала.

Россия тягостно инертна
в азартных играх тьмы со светом,
и воздается лишь посмертно
ее убийцам и поэтам.

Еще настолько близко к смерти
мы не бывали, друг и брат.
Герой-стратег наш глобус вертит,
а сокращенно - Герострат.

Система на страхе и крови,
на лжи и на нервах издерганных
сама себе гибель готовит
от рака в карательных органах.

Господи, в интимном разговоре
дерзкие прости мои слова:
сладость утопических теорий -
пробуй Ты на авторах сперва.

Какая из меня опора власти?
Обрезан, образован и брезглив.
Отчасти я поэтому и счастлив,
но именно поэтому - пуглив.

В первый тот субботник, что давно
датой стал во всех календарях,
бережно Ильич носил бревно,
спиленное в первых лагерях.

Должно быть, очень плохо я воспитан,
что, грубо нарушая все приличия,
не вижу в русском рабстве неумытом
ни избранности признак, ни величия.

Смотрю, что творят печенеги,
и думаю: счастье для нации,
что русской культуры побеги
отчасти растут в эмиграции.

Для всех у нас отыщется работа,
всегда в России требуются руки,
так насухо мы высушим болота,
что мучаться в пустынях будут внуки.

Себя зачислить в Стены Плача
должна Кремлевская стена:
судьбы российской неудача -
на ней евреев имена.

Теперь любая революция
легко прогнозу поддается:
где жгут Шекспира и Конфуция,
надежда срамом обернется.

Египет зарыдал бы, аплодируя,
увидев, что выделывает скиф:
мы создали, вождей мумифицируя,
одновременно мумию и миф.

Кошмарней лютых чужеземцев
прошлись по русскому двору

убийцы с душами младенцев
и страстью к свету и добру.

Развивается мир по спирали,
круг за кругом идут чередой,
мы сегодня по части морали -
над закатной монгольской ордой.

IV. Сколь пылки разговоры о голгофе за рюмкой коньяка и чашкой кофе

У писателей ушки в мерлушке
и остатки еды на бровях,
возле дуба им строят кормушки,
чтоб не вздумали рыться в корнях.

Сегодня приторно и пресно
в любом банановом раю,
и лишь в России интересно,
поскольку бездны на краю.

Горжусь, что в мировом переполохе,
в метаниях от буйности к тоске -
сознание свихнувшейся эпохи
безумствует на русском языке.

Мы все кишим в одной лохани,
хандру меняя на экстаз;
плывет по морю сытой пьяни
дырявый циниковый таз.

Не славой, не скандалом, не грехом,
тем более не устной канителью -
поэты проверяются стихом,
как бабы проверяются постелью.

Весь немалый свой досуг
до поры, пока не сели,
мы подпиливали сук,
на котором мы висели.

Кишит певцов столпотворение,
цедя из кассы благодать;
когда продажно вдохновение,
то сложно рукопись продать.

Дай, Боже, мне столько годов
(а больше не надо и дня),
во сколько приличных домов
вторично не звали меня.

Таланту ни к чему чины и пост,
его интересует соль и суть,

а те, кто не хватает с неба звезд,
стараются навешать их на грудь.

Очень многие тети и дяди
по незрелости вкуса и слуха
очень склонны томление плоти
принимать за явление духа.

В себя вовнутрь эпохи соль
впитав и чувствуя сквозь стены,
поэт - не врач, он только боль,
струна и нерв, и прут антенны.

Боюсь, что наших сложных душ структура -
всего лишь огородная культура;
не зря же от ученых урожая
прекрасно добивались, их сажая.

Будь сам собой. Смешны и жалки
потуги выдуманным быть;
ничуть не стыдно - петь фиалки
и зад от курицы любить.

Не узок круг, а тонок слой
нас на российском пироге,
мы все придавлены одной
ногой в казенном сапоге.

Боюсь, что он пылает даром,
наш дух борьбы и дерзновения,
коль скоро делается паром
при встрече с камнем преткновения.

Я потому на свете прожил,
не зная горестей и бед,
что, не жалея искры Божьей,
себе варил на ней обед.

V. Причудливее нет на свете повести, чем повесть о причудах русской совести

Имея, что друзьям сказать,
мы мыслим - значит существуем;
а кто зовет меня дерзать,
пускай кирпич расколет хуем.

Мораль - это не цепи, а игра,
где выбор - обязательней всего;
основа полноценности добра -
в свободе совершения его.

Сперва полыхаем, как спичка,
а после жуем, что дают;

безвыходность, лень и привычка
приносят покой и уют.

Диспуты, дискуссии, дебаты
зря об этом длятся сотни лет,
ибо виноватых в мире нет,
потому что все мы виноваты.

Огромен долг наш разным людям,
а близким - более других;
должны мы тем, кого мы любим,
уже за то, что любим их.

Свобода - это право выбирать,
с душою лишь советуясь о плате,
что нам любить, за что нам умирать,
на что свою свечу нещадно тратить.

Когда мила родная сторона,
которой возлелеян и воспитан,
то к ложке ежедневного говна
относишься почти что с аппетитом.

Возможность лестью в душу влезть
никак нельзя назвать растлением,
мы бескорыстно ценим лесть
за совпаденье с нашим мнением.

Зло умело взвинчивает цену,
чтобы соблазнить нас первый раз,
а потом карает за измену
круче и страшней, чем за отказ.

У зрелых развалин и дряхлых юнцов -
такое к покою стремление,
как будто свалилась усталость отцов
на рыхлых детей поколение.

Когда тонет родина в крови,
когда стынут стоны на устах,
те, кто распинался ей в любви,
не спешат повиснуть на крестах.

Мне жалко тех, кто кровью обливаясь,
провел весь век в тоске чистосердечной,
звезду шестиконечную пытаясь,
хоть как-то совместить с пятиконечной.

Мы жили по веку соседи,
уже потому не напрасно,
что к черному цвету трагедии
впервые прибавили красный.

Даже пьесы на краю,

даже несколько за краем
мы играем роль свою
даже тем, что не играем.

От желчи мир изнемогает,
планета печенью больна,
говно говном говно ругает,
не вылезая из говна.

Безгрешность в чистом виде - шелуха,
от жизненного смысла холостая,
ведь нравственность, не знавшая греха -
всего лишь неудачливость простая.

Решив служить - дверьми не хлопай,
бранишь запой - тони в трудах;
нельзя одной и той же жопой
сидеть на встречных поездах.

Если не во всем, то уж во многом
не были, не знали, не видали
мы бы оправдались перед Богом;
жалко, что Он спросит нас едва ли.

Мы сладко и гнусно живем
среди бардака и парада,
нас греет холодным огнем
трагический юмор распада.

Рождаясь только в юных, он меж ними
скитается, скрываем и любим;
в России дух свободы анонимен
и только потому неистребим.

Мне здесь любая боль знакома.
Близка любовь. Понятна злость.
Да, здесь я раб. Но здесь я дома.
А на свободе - чуждый гость. отвечу я.

И спросит Бог: - никем не ставший,
зачем ты жил? Что смех твой значит?
- Я утешал рабов уставших, -
И Бог заплачет.

Мне, Господь, неудобно просить,
но, коль ясен Тебе человек,
помоги мне понять и простить
моих близких, друзей и коллег.

VI. Господь лихую шутку учинил, когда сюжет еврея сочинил

Изверившись в блаженном общем рае,

но прежние мечтания любя,
евреи эмигрируют в Израиль,
чтоб русскими почувствовать себя.

По ночам начальство чахнет и звереет,
дикий сон морозит царственные яйца:
что китайцы вдруг воюют, как евреи,
а евреи расплодились, как китайцы.

Везде, где есть цивилизация
и свет звезды планету греет,
есть обязательная нация
для роли тамошних евреев.

Евреев не любит никто, кроме тех,
кто их вообще не выносит;
отсюда должно быть родился наш смех
и пляски на скользком откосе.

Вождям ночные мысли сон развеяли,
течет холодный пот по неглиже;
америки, открытые евреями
никак не закрываются уже.

Льется листва, подбивая на пьянство;
скоро снегами задуют метели;
смутные слухи слоятся в пространство;
поздняя осень; жиды улетели.

В года, когда юмор хиреет,
скисая под гласным надзором,
застольные шутки евреев
становятся местным фольклором.

В любых краях, где тенью бледной
живет еврей, терпя обиды,
еврейской мудрости зловредной
в эфир сочатся флюаиды.

Царь-колокол безгласный, поломатый,
Царь-пушка не стреляет, мать ети;
и ясно, что евреи виноваты,
осталось только летопись найти.

Сибирских лагерей оранжерея,
где пляшет у костра лесное эхо -
вот лучшая теплица для еврея,
который не созрел и не уехал.

Сегодня евреи греховны
совсем не своей бухгалтерией,
а тем, что растленно духовны
в эпоху обжорства материи.

Всегда еврей легко везде заметен,
еврея слышно сразу от порога,
евреев очень мало на планете,
но каждого еврея - очень много.

Везде, где есть галантерея
или технический прогресс,
легко сей миг найти еврея
с образованием и без.

Наскучив жить под русским кровом,
евреи, древние проныры,
сумели сделать голым словом
в железном занавесе дыры.

А слух - отрадный, но пустой,
что ихний фарт накрылся пылью,
навеян сладкою мечтой
однажды сказку сделать былью.

Евреи даже в светопреставление,
сдержав поползновение рыдать,
в последнее повисшее мгновение
успеют еще что-нибудь продать.

Везде, где не зная смущения,
историю шьют и кроят,
евреи - козлы отпущения,
которых к тому же доят.

У власти в лоне что-то зреет,
и, зная творчество ее,
уже бывалые евреи
готовят теплое белье.

Туманно глядя вслед спешащим
осенним клиньям журавлей,
себя заблудшим и пропащим
сегодня чувствует еврей.

В метро билеты лотереи.
Там, как осенние грачи,
седые грустные евреи
куют нам счастия ключи.

Во тьме зловонной, но тепличной,
мы спим и слюним удила,
и лишь жидам небезразличны
глухие русские дела.

Раскрылась правда в ходе дней,
туман легенд развеяв:
евреям жить всего трудней
среди других евреев.

Нет ни в чем России проку,
странный рок на ней лежит:
Петр пробил окно в Европу,
а в него сигает жид.

Как все, произойдя от обезьяны,
зажегшей человечества свечу,
еврей имеет общие изъяны,
но пользуется ими чересчур.

Евреи продолжают разъезжаться
под свист и улюлюканье народа,
и скоро вся семья цветущих наций
останется семьею без урода.

Любая философия согласна,
что в мире от евреев нет спасения.
Науке только все еще не ясно,
как делают они землетрясения.

Кто шахматистом будет первым,
вопросом стало знаменитым;
еврей еврею портит нервы,
волнуя кровь антисемитам.

Новые затеявши затеи
и со страха нервно балагуря,
едут приобщаться иудеи
к наконец-то собственной культуре.

Перспективная идея!
Свежий образ иудея:
поголовного агрессора
от портного до профессора.

Вечно и нисколько не старея,
всюду и в любое время года
длится, где сойдутся два еврея,
спор о судьбах русского народа.

Им не золото кумир,
а борьба с борьбой за мир;
как один головорезы,
а в штанах у них обрезы.

Что ели предки? Мясо и бананы.
Еда была сыра и несогрета.
Еврей произошел от обезьяны,
которая огонь добыла где-то.

Свет партии согрел нам батареи
теплом обогревательной воды;
а многие отдельные евреи

все время недовольны,

По всем приметам Галилей,
каким в умах он сохранился,
был чистой выделки еврей:
как жиды. отрекся, но не изменился.

В российской нежной колыбели,
где каждый счастлив, если пьян,
евреи так ожидовели,
что пьют обильнее славян.

Евреи лезут на рожон
под ругань будущих веков:
они увозят русских жен,
а там - родят большевиков.

Случайно ли во множестве столетий
при зареве бесчисленных костров
еврей - участник всех на белом свете
чужих национальных катастроф.

Во всех углах и метрополиях
затворник судеб мировых,
еврей, живя в чужих историях,
невольно вляпывался в них.

Сквозь бытия необратимость
евреев движет вдоль столетий
их кроткая неукротимость
упрямства выжить на планете.

Не в том беда, что ест еврей наш хлеб,
а в том, что проживая в нашем доме,
он так теперь бездушен и свиреп,
что стал сопротивляться при погроме.

VII. Во тьме домой летят автомобили и все, кого уже употребили

Творец, никому не подсудный,
со скуки пустил и приветил
гигантскую пьесу абсурда,
идущую много столетий.

Нисколько прочих не глупее
все те, кто в будничном безумии,
прекрасно помня о Помпее,
опять селились на Везувии.

Когда устал и жить не хочешь,
полезно вспомнить в гневе белом,
что есть такие дни и ночи,

что жизнь оправдывают в целом.

В разумном созревающем юнце
всегда есть незаконченное что-то,
поскольку только в зрелом мудреце
поблескивает капля идиота.

Очень много лиц и граждан
брызжет по планете,
каждый личность, но не каждый
пользуется этим.

С моим сознаньем наравне
вершится ход планет,
и если Бога нет во мне,
его и выше нет.

Время льется, как вино,
сразу отовсюду,
но однажды видишь дно
и сдаешь посуду.

Судьба способна очень быстро
перевернуть нам жизнь до дна,
но случай может высечь искру
лишь из того, в ком есть она.

В каждую секунду, год и час,
все понять готовый и простить,
Бог приходит в каждого из нас,
кто в себя готов Его впустить.

Когда природе надоест
давиться ядом и обидой,
она заявит свой протест,
как это было с Атлантидой.

Судить человечество следует строго,
но стоит воздать нам и честь:
мы так гениально придумали Бога,
что, может быть, Он теперь есть.

Мы после смерти - верю в это -
опять становимся нетленной
частицей мыслящего света,
который льется по Вселенной.

VIII. Любовь - спектакль, где антракты немаловажнее, чем акты

Ни в мире нет несовершенства,
ни в мироздании - секрета,
когда, распластанных в блаженстве,

нас освещает сигарета.

Мы не жалеем, что ночами
с друзьями жгли себя дотла,
и встретим смерть, как мы встречали
и видных дам, и шлюх с угла.

В любые века и эпохи,
покой на земле или битва,
любви раскаленные вздохи -
нужнейшая Богу молитва.

Красоток я любил не очень,
и не по скудости деньжат:
красоток даже среди ночи
волнует, как они лежат.

Лучше нет на свете дела,
чем плодить живую плоть;
наше дело - сделать тело,
а душой снабдит Господь.

Учение Эйнштейна несомненно,
особенно по вкусу мне пришлось,
что с кучей баб я сплю одновременно,
и только лишь пространственно - поврозь.

Теперь другие, кто помоложе,
тревожат ночи кобельным лаем,
а мы настолько уже не можем,
что даже просто и не желаем.

Мы были тощие повесы,
ходили в свитерах заношенных,
и самолучшие принцессы
валялись с нами на горошинах.

Природа торжествует, что права,
и люди несомненно удались,
когда тела сошлись, как жернова,
и души до корней переплелись.

Обильные радости плоти,
помимо других развлечений -
прекрасный вдобавок наркотик
от боли душевных мучений.

Давай, Господь, решим согласно,
определив друг другу роль:
ты любишь грешников? Прекрасно.
А грешниц мне любить позволь.

Увы, то счастье унеслось
и те года прошли,

когда считал я хер за ось
вращения Земли.

Рад, что я интеллигент,
что живу светло и внятно,
жаль, что лучший инструмент
годы тупят безвозвратно.

Молодость враждебна постоянству,
в марте мы бродяги и коты;
ветер наших странствий по пространству
девкам надувает животы.

Витает благодать у изголовий,
поскольку и по духу и по свойству
любовь - одно из лучших славословий
божественному Божьему устройству.

Когда грехи мои учтет
архангел, ведающий этим,
он, без сомнения, сочтет,
что я не даром жил на свете.

Я отношусь к натурам женским,
от пыла дышащим неравно,
которых плотское блаженство
обогащает и духовно.

Готов я без утайки и кокетства
признаться даже Страшному Суду,
что баб любил с мальчишества до детства,
в которое по старости впаду.

А умереть бы я хотел
в то миг высокий и суровый,
когда меж тесно слитых тел
проходит искра жизни новой.

Назад оглянешься - досада
берет за прошлые года,
что не со всех деревьев сада
поел запретного плода.

От акта близости захватывает дух
сильнее, чем от шиллеровских двух.

В любви прекрасны и томление,
и апогей, и утомление.

IX. Давно пора, ебена мать, умом Россию понимать

Я государство вижу статуей:

мужчина в бронзе, полный властности,
под фиговым листочком спрятан
огромный орган безопасности.

Ошалев от передряг,
спотыкаясь, как калеки,
мы вернули бы варяг,
но они удрали в греки.

Боюсь, как дьявольской напасти,
освободительных забот:
когда рабы приходят к власти,
они куда страшней господ.

Когда страна - одна семья,
все по любви живут и ладят;
скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, за что тебя посадят.

А может быть, извечный кнут,
повсюдный, тайный и площадный,
и породил российский бунт,
бессмысленный и беспощадный.

Мы крепко память занозили
и дух истории-калеки,
Евангелие от России
мир получил в двадцатом веке.

Не мудреной, не тайной наукой,
проще самой простой простоты -
унижением, страхом и скукой
человека низводят в скоты.

Конечно, здесь темней и хуже,
но есть достоинство свое;
сквозь прутья клетки небо глубже,
и мир прозрачней из нее.

На наш барак пошли столбы
свободы, равенства и братства;
все, что сработали рабы,
всегда работает на рабство.

Моей бы ангельской державушке -
два чистых ангельских крыла;
но если был бы хуй у бабушки,
она бы дедушкой была.

В тюрьме я поневоле слушал радио
и думал о загадочной России;
затоптана, загажена, раскрадена,
а песни - о душевности и силе.

В двадцатом удивительном столетии,
польстившись на избранничества стимул,
Россия показала всей планете,
что гений и злодейство совместимы.

Смешно, когда толкует эрудит
о нашей тяге к дружбе и доверию;
всегда в России кто-нибудь сидит;
один - за дух, другие - за материю.

История любым полна коварством,
но так я и не понял, отчего
разбой, когда творится государством,
название меняется его.

Дыша неистовством и кровью,
абсурдом и разноязычием,
Россия - трудный сон истории
с его кошмаром и величием.

Любовь моя чиста, и неизменно
пристрастие, любовью одержимое;
будь проклято и будь благословенно
отечество мое непостижимое.

Кровав был век. Жесток и лжив.
Лишен и разума и милости.
И глупо факт, что лично жив,
считать остатком справедливости.

Россия! Что за боль прощаться с ней!
Кто едет за деньгами, кто за славой;
чем чище человек, тем он сильнее
привязан сердцем к родине кровавой.

Однажды здесь восстал народ
и, став творцом своей судьбы,
изъел под корень всех господ;
теперь вокруг одни рабы.

Нету правды и нет справедливости
там, где жалости нету и милости;
правит злоба и царит нищета,
если в царстве при царе нет шута.

Мы варимся в странном компоте,
где лгут за глаза и в глаза,
где каждый в отдельности - против,
а вместе - решительно за.

Беспечны, безучастны, беспризорны
российские безмерные пространства,
бескрайно и безвыходно просторны,
безмолвны, безнадежны и бесстрастны.

Всегда в отдельный список заносили
всех тех, кого сегодня я люблю;
кратчайший путь в историю России
проходит через пулю и петлю.

Россия столько жизней искалечила
во имя всенародного единства,
что в мире, как никто увековечила
державную манеру материнства.

Смакуя азиатский наш кулич,
мы густо над евреями хохочем;
в России прогрессивней паралич,
светлей Варфоломеевские ночи.

Российская лихая птица-тройка
со всех концов земли сейчас видна,
и кони бьют копытами так бойко,
что кажется, что движется она.

Такой ни на какую не похожей
досталась нам великая страна,
что мы и прирастаем к ней не кожей,
а всем, что искалечила она.

Моя империя опаслива:
при всей своей державной поступи
она привлечь была бы счастлива
к доносной службе наши простыни.

За осенью - осень. Тоска и тревога.
Ветра над опавшими листьями.
Вся русская жизнь - ожиданье от Бога
какой-то неясной амнистии.

Рисунком для России непременным,
орнаментом, узором и канвой,
изменчивым мотивом неизменным
по кружеву судьбы идет конвой.

Не на годы, а на времена
оскудела моя сторона,
своих лучших сортов семена
в мерзлоту раскидала страна.

Чему бы вокруг не случиться,
тепло победит или лед,
страны этой странной страницы,
мы влипли в ее переплет.

Век принес уроки всякие,
но один - венец всему:
ярче солнца светят факелы,

уводящие во тьму.

Российская природа не уныла,
но смутною тоской озарена,
и где ни окажись моя могила,
пусть веет этим чувством и она.

Как рыбы мы глубоководны,
тьмы и давления диету
освоив так, что непригодны
к свободе, воздуху и свету.

В империях всегда хватало страху,
история в них кровью пишет главы,
но нет России равных по размаху
убийства своей гордости и славы.

Россия надрывно рыдает
о детях любимых своих;
она самых лучших съедает
и плачет, печалясь о них.

Полна неграмотных ученых
и добросовестных предателей
страна счастливых заключенных
и удрученных надзирателей.

Не знаю глупей и юродивей,
чем чувство - его не назвать,
что лучше подохнуть на родине,
чем жить и по ней тосковать.

Как мальчик, больной по природе,
пристрастно лелеем отцом,
как все, кто немного юродив,
Россия любима Творцом.

Пригасла боль, что близких нет,
сменился облик жизни нашей,
но дух и нрав на много лет
пропахли камерной парашей.

Приметы близости к расплате
просты: угрюмо сыт уют,
везде азартно жгут и тратят
и скудно нищим подают.

Открыв сомкнуты негой взоры,
Россия вышла в неглиже
навстречу утренней Авроры,
готовой к выстрелу уже.

Сильна Россия чудесами
и не устала их плести:

здесь выбирают овцы сами
себе волков себя пасти.

Россия - странный садовод
и всю планету поражает,
верша свой цикл наоборот:
сперва растит, потом сажает.

А раньше больше было фальши,
но стала тоньше наша лира,
и если так пойдет и дальше,
весь мир засрет голубка мира.

Благословен печальный труд
российской мысли, что хлопочет,
чтоб оживить цветущий труп,
который этого не хочет.

Не в силах внешние умы
вообразить живьем
ту смесь курорта и тюрьмы,
в которой мы живем.

Здесь грянет светопреставление
в раскатах грома и огня,
и жаль, что это представление
уже наступит без меня.

Григорий Горин

Справочный материал

Настоящая фамилия Офштейн, русский драматург, прозаик. Родился 12 марта 1940 года в Москве в семье военнослужащего. Окончив 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова (1963), несколько лет работал врачом "скорой помощи". Начал с сочинения сценок для студенческого "Клуба веселых и находчивых" (КВН), с 1960-х годов активно выступал в печати с фельетонами, юмористическими рассказами и скетчами, высмеивающими ложь и лицемерие установившихся социальных и личностных отношений, засилье беспринципной, безответственной и трусливой бюрократии, имитацию полезной деятельности и искренних чувств, ленивое и эгоистичное безразличие "застоя", поразившее, как болезнь, предперестроечное советское общество ("Хочу харчо!", "Чем открывается пиво?…", "Скрытой камерой", "Остановите Потапова!", "Хорошее воспитание", "Встреча с известным писателем Бурко" и др.). Некоторое время заведовал отделом юмора журнала "Юность", вел популярную рубрику от имени Галки Галкиной.

В 1966 году вышла первая книга прозы Григория Горина "Четверо под одной обложкой" (совместно с другими авторами) и пьеса "Свадьба на всю Европу" (в соавторстве с А. Аркановым, соавтором Горина также в пьесах "Банкет", пост. 1968; "Маленькие комедии большого дома", "Тореадор", обе 1973; "Соло для дуэта", 1975).

От изящного анекдота, острого словца, афористической меткости (Горину принадлежит выражение "рояль в кустах", означающее тщательную подготовку мнимого экспромта) и "знаковой" сатирической образности (фигура цинично-равнодушного "пофигиста" Потапова) писатель шел к серьезной философской проблематике, к выявлению смысла, характера и цели человеческого самоосуществления, будь то комедия "Тиль" (1970) по мотивам фламандского фольклора и романа Шарля де Костера, с "неправильным" и беспокойным, но смелым и бескорыстным героем; трагикомедия "Забыть Герострата!" (пост. 1972), оспаривающая право разрушителя на историческую память; или пьеса "Самый правдивый" (1974) о бароне Мюнхгаузене, безудержная фантазия которого оказывается выше приземленной правды бескрылых посредственностей.

Опираясь, в русле традиций Б. Брехта и Е. Шварца, на переосмысление, порой парадоксальное, хрестоматийных сюжетов, Горин утверждает приоритет ума над косностью ("Дом, который построил Свифт", 1980), терпимости народного сознания — над религиозным и национальным шовинизмом ("Поминальная молитва", 1989, по мотивам произведений Шолом-Алейхема), силы искусства — над властью ("Кин IV", 1991 — о великом английском актере), любви — над фантомами предрассудков, иногда называемых "честью рода" ("Чума на оба ваши дома!", 1994, по мотивам трагедии У. Шекспира "Ромео и Джульетта").

Непреходящие социально-нравственные коллизии в свойственной драматургу стремительной игровой, импровизационно-коллажной манере, в стилистике, насыщенной злободневными и культурно-историческими аллюзиями, тяготеющей к притче и иносказанию, Григорий Горин рассматривает также в многочисленных пьесах, основанных как на современном ("Феномены", 1984; "Прощай, конферансье!", 1985; "Кот домашний средней пушистости", 1989, совм. с В. Войновичем, и др.), так и на ретроспективном, обращенным в культурное или историческое прошлое материале ("Королевские игры", 1995; "Счастливцев-Несчастливцев", 1997; "Шут Балакирев", 1999).

Автор сценариев (как правило, по собственным произведениям) многих популярных кинофильмов ("Остановите Потапова!", "Ты — мне, я — тебе!", "Бархатный сезон", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Убить дракона!", по мотивам пьесы Е.Л. Шварца; "Формула любви", по произведению А.Н. Толстого); литературно-публицистических статей.

Григорий Израилевич Горин умер в Москве 15 июня 2000 года.

Поминальная молитва

Действующие лица

Тевье – молочник.

Голда – его жена.

Цейтл

Годл

Хава

Шпринца

Бейлке

Мотл – портной.

Перчик – студент.

Федор – писарь.

Менахем-Мендл – родственник Тевье, человек без определенных занятий.

Степан – плотник.

Лейзер-Волф – мясник.

Ребе.

Поп.

Урядник.

Войцек – трактирщик.

Девушка.

Мать Менахема.

Мужики, гости на свадьбе, оркестранты, соседи.

Действие происходит в начале XX века в деревне Анатовка.

«...На моей могиле в каждую годовщину моей смерти пусть оставшийся мой единственный сын, а также мои зятья, если пожелают, читают по мне поминальную молитву.

А если читать молитву у них не будет особого желания, либо время не позволит, либо это будет против их религиозных убеждений, то они могут ограничиться тем, что будут собираться вместе с моими дочерьми, внуками и просто добрыми друзьями и будут читать это мое завещание, а также выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и прочитают вслух на любом понятном им языке.

И пусть мое имя будет ими помянуто лучше со смехом, нежели вообще не помянуто...»

Шолом-Алейхем (из «Завещания»)1915 г.

Часть первая

Пролог

На сцене – ВСЕ УЧАСТНИКИ СПЕКТАКЛЯ. В центре – АРТИСТ, исполняющий роль Тевье. Говорит, обращаясь непосредственно в зал.

Артист-Тевье

В деревне Анатовка с давних пор жили русские, украинцы и евреи. Жили вместе, работали вместе, только умирать ходили каждый на свое кладбище... Таков обычай!

Здороваясь, русские снимали шапки. Евреи шапок не снимали никогда!.. Обычай!

Крик петуха. Стали высвечиваться крыши домов Анатовки. Часть актеров надели картузы. Послышался колокольный перезвон. Часть актеров перекрестились.

У русских был поп. У евреев – ребе. Мудрые люди, между прочим... Знали ответы на все вопросы...

Один из артистов

(обращаясь к попу)

Батюшка, отчего петух по утрам поет?

Поп

Так ему Бог повелел, сын мой.

Один из артистов

Батюшка, а вот что раньше было: курица или яйцо?

Поп

А раньше, голубчик, все было...

Второй артист

(обращаясь к ребе)

Ребе, а почему курица не летает?

Ребе

Так ей Бог повелел!

Второй артист

Ребе, а вот почему петух стоит на одной ноге?

Ребе

Не морочь голову... Потому что если он и эту ногу уберет, то наверняка свалится...

Актер-Тевье

(в зал)

Умные люди были, дай Бог им здоровья. А еще в деревне был урядник. Один на всех! Потому что вера у людей может быть разная, а власть – одна!..

Появляется Урядник с гусем.

Урядник

Мужики! Чей гусак без присмотра бегает: православный али иудейский?

Все задумчиво рассматривают гусака, чешут затылки.

Один из артистов

Та вроде наш...

Второй

А може, и наш...

Урядник

(с угрозой)

А коли хорошо подумать, мужики?

Первый и второй

(вместе)

Наверное, ваш, ваше благородие...

Урядник

О! Це дило! А я, дурак, гадаю: чей гусак?

(Свернул гусаку шею, ушел.)

Актер-Тевье

Справедливый был человек... А еще в деревне жили Степан-плотник, Мотеле-портной, Федька-писарь и молочник Тевье-Тевль. Евреи звали его Тевье, русские – Тевлем. И было у него пять

дочерей, две коровы и одна лошадь, такая старая, что могла везти телегу только с горы. А когда дорога шла на подъем, Тевье-Тевль впрягался в телегу сам.

(Впрягается в телегу.)

И тогда он даже снимал шапку, чтоб не липла к волосам, и со стороны уже было трудно понять, кто идет – иудей или православный. Да и, честно сказать, какая разница, если человек беден и из последних сил тащит свой воз...

Тихо зазвучала музыка. Все разошлись, оставив на сцене Тевье, который отчаянно тянул телегу и что-то бормотал себе под нос.

Картина первая

Ржанье коня. Тевье тащит телегу.

Тевье

(поднял лицо к небу)

Боже милосердный, всех кормящий и насыщающий! Если Ты создал человека человеком, а лошадь лошадью, то разве справедливо, что человек тянет оглобли, а эта холера плетется сзади и ржет? Знаю, что ответишь: «Не ропщи, ибо путь каждого записан в Книге Судеб...» Это так! Но важно, на какой странице... Я к тому, что если Тебе было угодно создавать сперва бедных, а потом богатых, то я был готов встать во вторую очередь... Мне не к спеху! Как говорится, лучше последним на свадьбе, чем первым на похоронах... И кому было б плохо, если б я был богат? Не сказано ли в Писании: «Рука дающего да не оскудеет»?.. Тобою данное. Тебе бы и вернулось... Короче! Я бы отдал половину денег молящимся, половину – кладбищенским нищим. И только последнюю половину взял бы себе... И то сказать, не себе – дочкам на приданое. Ну, еще жене на платье... Коровам на сено... Лошади на овес...

(Ржанье коня.)

...Вот! Самому-то мне ничего не надо... На тарелку супа и хлеб всегда заработаю, а больше – зачем? Сказано мудрыми: «И богатые червонцы не глотают, и бедные камни не едят...» И будь я хоть трижды богач Ротшильд, все равно ходил бы в этом рваном камзоле и старых сапогах... Не доить же коров во фраке?..

(Ржанье коня.)

...Лошадь смеется...

(Оглянулся.)

Нет, коняка, хорош бы был Ротшильд, если бы вышел запрягать тебя в цилиндре и лаковых штиблетах. Да еще гаркнул по-французски: «Цыц! Холера на твою голову!»

(Задумался.)

А как же будет по-французски «Цыц, холера?!»... Не знаю. Поэтому все в мире правильно... Ротшильд – это Ротшильд, Тевье – Тевье, а лошадь – лошадь! И сказано в Писании: «Не по своей воле живет человек»!

(Улыбнулся.)

Впрочем, Боже, что я толкую Тебе о Святом Писании?.. Кто из нас читал, а кто диктовал?..

В конце монолога на дороге появился Перчик, молодой человек в студенческой фуражке и со связкой книг в руках. Несколько секунд с улыбкой наблюдал за Тевье.

Перчик

Между прочим, «цыц» будет «цыц»!

Тевье

(оглянулся)

Вы это кому, молодой человек?

Перчик

Никому! Просто говорю: и по-французски «цыц» будет «цыц». А «холера» – «холера».

Тевье

Вот как? Интересно. Не каждый день встретишь на дороге образованного человека. Откуда шагает такой умный паренек?

Перчик

Паренек шагает издалека.

Тевье

Вижу по башмакам. А если по фуражечке, то, наверное, из самого Киева?

Перчик

Верно, реб Тевье.

Тевье

А если и меня по имени знаете, стало быть, родом из здешних мест?

Перчик

Родом, реб Тевье, я из той деревни, где много вопросов задают и вопросом на вопрос отвечают.

Тевье

Значит, наш... Из Анатовки. Я и смотрю: лицо знакомое. Не иначе, думаю, отца паренька знал.

Перчик

Знали, реб Тевье.

Тевье

Кто ж таков? Чем занимался?

Перчик

Отец говорил: дело мое – табак, деньги – дым!..

Тевье

Перчик-папиросник? Как же, как же... Хороший был человек, царство ему небесное. Сам не курил и другим не советовал... Оттого и по миру пошел со своей табачной лавкой. Но вижу, кое-что оставил, раз сын в университетах учится.

Перчик

На «кое-что» не проживешь... Поэтому иду в деревню подработать.

Тевье

Хорошее дело. В Писании сказано: «Всяк своим трудом кормится»... Только, смотрю, для деревенского труда не очень ты годен. Руки гладкие...

Перчик

Зато язык в мозолях. Им и прокормлюсь. Учительствовать буду... Детей учить... У вас есть дети?

Тевье

Этим богатством Бог не обидел. Пятеро.

Перчик

Ну вот и возьмите. Много не попрошу: харчи да ночлег.

Тевье

(замялся)

Харчей не жалко. Лишняя тарелка стол не перевернет. А вот ночлег... Тут подумать надо. Дочки у меня! Три – на выданье... Пусти козла в огород – он зараз научит капусту крошиться.

Перчик

Мудрый вы человек, реб Тевье. Без приговорки слова не скажете... Только ведь и я анатовский... Закон знаю: «Вошел в чужой дом – садись, где стул поставят...»

Появился Урядник.

Урядник

(приветливо)

Здорово, Тевль!

Тевье

Здравия желаю, ваше благородие.

Урядник

Опять на тебе телега едет?

Тевье

Лошадь попросила – субботу справлять.

(Урядник хохотнул.)

Да и то сказать: не велика тяжесть. Господин урядник на себе всю деревню везет – и не жалуется...

Урядник

О, це верно!

(Захохотал.)

Люблю я тебя, Тевль. Веселый ты человек! Ну, как дела? Как коммерция?

Тевье

Врагам моим такую коммерцию. Заказали дачники сыр, творог, повез им с утра, а они еще вчера в город уехали. Час в ворота стучал, пока кобель не выскочил...

Урядник

Кобель, говоришь? Ну дела.

(Захохотал, но тут же стал серьезным.)

Кстати. Напомнил... У меня ж тоже незадача вышла. Посылает меня с утра жинка до тебе... «Сходи, – говорит, – до Тевля, купи две головки сыра...» Я вышел, полдороги прошел, сую руку в карман – денег нема! Возвертаюсь, говорю: «Жинка, а иде деньги?» А она: «Яки деньги? Ты, – говорит, – злодей, либо их потерял, либо пропил... Тащи сыр!» Ну что скажешь? Не дура ли баба?

Тевье

Что скажу? У меня та же история... Выехал – был полон бидон сметаны, а дорогой половина утряслась... Сейчас приеду – жена в крик: иде деньги? Нема денег. Иде сметана?

Урядник

Погоди, Тевль, погоди со сметаной... Я про сыр. Ты ж мою Оксану знаешь...

Тевье

А вы мою Голду будто нет?

Урядник

Моя начнет голосить – хоть святых выноси!

Тевье

Моя начнет – вашу не слышно будет.

Урядник

Ну, одно слово – бабы, ядри их корень!

Тевье

Я бы добавил что-нибудь из Писания, но лучше не скажешь!

Пауза.

Урядник

Ну, что делать будем, Тевль? Советуй.

Тевье

Я так скажу: не дам два сыра – ваша голосить будет, дам два сыра – моя. Дам один! Пусть обе голосят, холера им в бок!

Урядник

О, це верно! Хороший ты человек, Тевль, хотя и еврей.

Тевье

Кому-то надо быть евреем, ваше благородие. Уж лучше я, чем вы...

Урядник

Опять верно!

(Захохотал, но вдруг посерьезнел, отвел Тевье в сторону.)

А это что за хлопец?

Тевье

Студент из Киева.

Урядник

Вижу, что студент. А к нам зачем? Документ у него есть?

Тевье

Его документ на носу написан. Это сын Перчика-папиросника.

Урядник

Нам все едино: папиросник – не папиросник... Документ должен быть. У нас сообчение. В Киеве беспорядки. Эти студенты да жиды народ волнуют...

(Перчику.)

Хлопец, вы кто?

Перчик

Человек.

Урядник

Вижу, что не лошадь! А пачпорт у вас есть? Или вид на жительство?

Перчик

(указал в сторону деревни)

Вот он – мой вид на жительство. Там родился, там отец лежит...

Урядник

Смотрю, острый вы на язык...

Перчик

Фамилия такая – Перчик!

Урядник

А не угодно ли вам, сударь, с вашей фамилией пройти в участок?

Тевье

Погодите, ваше благородие...

Урядник

Не мешай, Тевль! Тут дело серьезное... Разберемся: кто таков, откуда идет, к кому...

Тевье

Ко мне идет. Девочек моих учить... Французскому!

Урядник

Это еще зачем?

Тевье

Как зачем? У меня девицы на выданье. Ну сам посуди, ваше благородие, посватается до меня богатый человек, даст Бог, сам Ротшильд, – на каком языке ему сказать «да»?

Урядник

(недовольно)

Ну смотри, Тевль! Головой за него отвечаешь.

Тевье

Двумя, ваше благородие.

(Протягивает две головки сыра.)

Урядник

Нет, Тевль, одной! Как договорились...

(Взял головку сыра, ушел.)

Перчик

Напрасно вы перед ним шапку ломаете, реб Тевье. Не те времена. В Киеве мы добились уже кое-каких прав. Городовой нам честь отдает и обращается как положено: «Господин студент!»

Тевье

Где Киев – где мы?.. Не сказано ли в Писании: «Всяко место – свой порядок»!

Перчик

Не знаю я таких слов. И порядок такой – не порядок! Порядок будет, когда восторжествует свобода и когда не станет ни бедных, ни богатых.

Тевье

А кто же будет?

Перчик

Равноправные люди...

Тевье

Во как! Хорошо! Ну, с бедными я договорюсь, а с богатыми – не уверен. Куда ж их богатство денется?

Перчик

Поделим на всех поровну.

Тевье

Умный вы человек, Перчик, многому, видно, в ниверситетах научились... Только я вам так скажу: чужое поделить – не велика премудрость! Попробуй свое отдать...

Перчик

А чего у меня есть? Книжки? Пожалуйста!

(Кинул книги в телегу.)

Теперь они общие...

Тевье

Тогда и телега общая... Тащи!!

Перчик улыбнулся, впрягся вместе с Тевье в телегу. Вдвоем они с трудом сдвигают ее с места.

Ну, как тебе, Перчик, такая новая жизнь?

Перчик

Ничего, реб Тевье.

(Кряхтит.)

Главное – труд и свобода.

Тевье

Труд – это точно. А насчет свободы – свободной у нас осталась пока только лошадь... Мы – тащим!..

Тихо переговариваясь, увозят телегу.

Картина вторая

Дом Тевье. Предсубботняя суета. За столом – Голда и две девочки, младшие дочери, Бейлке и Шпринца, готовят тесто для пирогов. Чуть в сторонке Хава режет лук и читает книгу, лежащую у нее на коленях.

Голда

(девочкам)

Смотрите сюда! Вот так крутим, вот так – бьем!

(Месит тесто.)

Что говорит тесто? «Я готово!» Что говорит скалка? «А не прокатиться ли нам?» Поехали!

(Раскатывает тесто скалкой.)

Цок, цок, дрожки, едут по дорожке!!

Девочки

(радостно)

Цок! Цок!

Хава всхлипывает.

Голда

Хава, кончай резать лук. Обревелась!

Хава

Книжка грустная, мама.

Голда

Какая книжка, когда в руках нож? Думаешь, грамотные не режутся?.. Отложи!

(Встает.)

Отложи, тебе говорят!

Хава

Мам, ну оставь... На самом интересном месте...

Голда

(забирая книгу)

На самом интересном месте вернется отец, а у нас ничего не готово... Солнце садится!

Девочки

Цок, цок, дрожки!

(Балуются скалкой.)

Голда

Хватит кататься! Приехали!

(Отбирает скалку.)

Бог мой, что вы тут натворили?

Входит старшая дочь Цейтл с охапкой дров.

А где Годл?

Цейтл

Ушла за водой.

Голда

Надеюсь, не к Черному морю? Уже час как нет...

Цейтл кладет дрова у печки, начинает ее разжигать. Входит Степан.

Степан

Здорово, соседи!

Голда

(продолжая орудовать с тестом)

Здравствуй, Степан.

Степан

Не вовремя?

Голда

Глаза есть – решай сам.

Степан

Голова трещит.

Голда

Степан, сразу говорю: в доме ни грамма.

Степан

Раскалывается башка... Ну хоть поворожи, Голда.

Голда

Степан, ты видишь, руки заняты... Суббота на носу.

Степан

К тому и говорю... Расхвораюсь – кто вам завтра коров доить будет?

Голда

(перестала месить)

Ох, горе мое...

(Вытирает руки.)

Садись на стул.

(Дочери.)

Хава, займись тестом...

Степан садится на стул, закрывает глаза. Голда встает сзади, простирает над ним руки, начинает что-то бормотать.

Хава

Дикость какая-то. В наш век – ворожба!

Степан

Цыц! Мать не учат!

Голда

Молчи, Степан. Думай о приятном...

(Бормочет заклинание.)

Цейтл, печь дымит...

Цейтл

Вижу...

(Раздувает огонь.)

Степан

(открыл глаза)

Сырые-то потом кладут... Сперва щепочки...

Голда

Степан, думай о приятном...

(Бормочет.)

Входит Годл с ведром воды.

Наконец-то... За смертью хорошо посылать.

Годл

Знаешь, мама, кого встретила? Менахем-Мендла... Родственника...

Голда

И что?

Годл

Сказал, что придет к нам...

Голда

Только его не хватало. Тебя зачем посылали: за водой или за родственником?

Степан

(открыл глаза)

Это какой Менахем?

Голда

(с раздражением)

Степан, не думай о нем. Думай о приятном...

Входит Менахем-Мендл, мужчина городского типа, в сюртуке и шляпе.

Менахем

Мир дому сему!

Голда

Спасибо на добром слове. Извините, у нас кавардак. Канун субботы.

Менахем

Все понимаю. А где Тевье?

Голда

Где бывают люди до заката? Работает.

Менахем

Все понимаю. Я тоже очень занят.

(Садится.)

Может быть, и хорошо, что его нет.

Голда

Извините, Менахем, не могу уделить вам минуты, лечу соседа.

(Бормочет заклинание.)

Менахем

На здоровье. Он мне не мешает.

(Закуривает сигару.)

У вас не курят?

Голда

Теперь курят.

Менахем

(взял из чашки изюм)

Где вы берете такой крупный изюм?

Голда

Это вы берете, а мы покупаем.

Менахем

Резонно. Так вот, Голда, у меня к вам дело. Начну издалека... Как вы думаете, чем я сейчас промышляю?

Голда

Откуда знать бедной женщине, чем занимается такой удачливый коммерсант? Наверное, торгуете воздухом или прошлогодним снегом... Наверное, разбогатели... Видела как-то вашу жену. Глаза заплаканы... Наверное, от счастья...

Менахем

С такой женщиной говорить – надо сперва хорошо подпоясаться... Не буду издалека. Начну с середины. Да. Был я и страховым агентом, был и на Одесской бирже, был и в Киевском остроге... Но теперь – все! С прошлым покончено! Теперь у меня в руках настоящее дело... И оно будет интересно для вас. Я сват.

Голда

(вздрогнув)

Кто?

Девочки с любопытством уставились на Менахема.

Менахем

Я же говорил, вы заинтересуетесь. Я сват! С тем и пришел.

Голда

(дочерям)

А ну, дети, марш во двор!

Дочери робко выходят.

И не подслушивать!

(Трогает Степана.)

Степан! Голова прошла?

(Степан храпит.)

Менахем

Бог с ним, он нам не мешает... Так вот, Голда, я вам расскажу, как стал сватом. Начну издалека...

Голда

Умоляю, Менахем, начните с ближнего края.

Менахем

Хорошо. Вообще-то, такой разговор надо бы начинать с хорошей закуски и рюмки водки...

Голда

Тише. Степан проснется... Умоляю, Менахем, говори...

Менахем

Хорошо. Так вот, Голда, после того как я вышел из острога, куда, как вы знаете, попал по недоразумению и по той же причине вышел, я поселился в Киеве на одной квартире... А у хозяйки был дядя-сват. Некто Лебельский – может быть, слышали?.. Всем сватам сват! Король! Половина всех счастливых браков – его работа... Если есть хоть одна невеста в Виннице, а один жених в Таганроге, он их найдет – и без промаха... дуплетом в угол...

Голда

Лебельский – это Лебельский. При чем здесь ты?

Менахем

При том, что он умер!

(Голда вздрогнула.)

...Что делать, мадам Голда! Такова жизнь. Человек что столяр... Столяр живет-живет и умирает, и человек тоже... Так вот! Лебельский уходит в лучший мир, а его пожитки переходят моей хозяйке... А хозяйка, надо вам сказать, имела ко мне симпатию! Что можно понять... Я всегда при бабочке и пахну хорошим табаком... Так вот она мне вдруг говорит: «Менахем, а не сгодится ли вам это?»

(Достает пачку бумажек, напоминающую колоду карт.)

Голда

Что это?

Менахем

Клад! Клондайк... Есть такое место в Америке, там золота – что у нас куриного помета... Называется это – на нашем «сватском» языке – «шпаргалы»... Тут все. Женихи, невесты, вдовы, вдовцы, бери сверху – не ошибешься...

(Тасует колоду.)

Например:

(читает)

«Кишенев. Аптекарь Ефим Балясный. Не первый красавец, но еще ничего. Ежедневно молится. Имеет дом с видом. Хочет брюнетку»... Или:

(открывает вторую карту)

«Проскуров. Арон Свидерский. Убежденный холостяк, но готов попробовать... Хочет образованную и чтоб играла на инструментах...» Или... «Вильна. Семен Мильдонис. При очках, но видит хорошо... Наполовину немец. Ищет того же...»

(Протягивает колоду.)

Снимите карту, Голда!

Голда

Подождите, Менахем. Какое это к нам имеет касание? Где Вильна – где Анатовка?

Менахем

Голда, я похож на идиота? Нет! Этого даже мои враги не считают... Я знаю, что вы бы хотели местный материал... Снимите карту!

(Голда нерешительно берет бумажку.)

Читайте!

Голда

Я не умею.

Менахем

Тогда послушайте грамотного человека... «Анатовка. Мясник Лейзер-Волф. Вдовец при крепких деньгах. Ищет девушку из хорошей семьи». Вот почему я приехал в эту богом забытую деревню. Я нашел ему в Бердичеве вариант, из хорошей семьи... Она, правда, чуть хромает, но в этом тоже есть шарм – не убежит на сторону... И вот я прихожу к нему, делаю предложение, а он мне говорит: «Менахем! Зачем далеко, когда есть близко?.. Если вы хотите устроить мое счастье, сосватайте мне дочку Тевье Цейтл. Я из-за нее не сплю ночей... Она приходит ко мне в лавку и уносит мое сердце...» Прошу обратить внимание: простой мясник, но выражается поэтично...

Голда

Да вы знаете, сколько ему лет?

Менахем

Что значит «сколько лет» для мужчины? Наши предки жили по пятьсот...

Голда

Пятьсот лет она с ним не выдержит. И потом, Тевье его не любит...

Менахем

Что значит «Тевье не любит»... Кому важны его чувства? Голда, вы хотите для дочки богатого мужа или нет?

Голда

Какая мать не хочет счастья дочери? И потом, она у меня старшая... Начинать надо с нее.

Менахем

Ну?

Голда

Тевье не захочет мясника. Тевье хочет образованного...

Менахем

Образованный в округе один я, но я уже женат. Поэтому не будем искать золото в кармане с дыркой... Пусть Тевье сходит к мяснику. Тот его ждет для разговора... У мужчин это просто... Сядут за стол, посмотрят друг другу в глаза, нальют рюмку водки...

Степан

(проснувшись)

Что вы говорите – «сядут за стол»?

Голда

(Менахему)

Я же просила: тише! Ну как, Степан, прошло?

Степан

(потрогал голову)

Отпустило. Руки у тебя, Голда, золотые... Так что вы говорите – «за стол»?

Голда

Ничего не говорим! Все! Разговор кончен... У меня тесто в печи кричит...

(Бросилась к печке.)

Открылась дверь, в дом заглянул Мотл. Он взволнован.

Мотл

Добрый день!

Голда

(возясь у печки)

Добрый день, Мотл.

Мотл

Реб Тевье еще не пришел?

Голда

Как видишь.

Мотл

У меня к нему разговор.

Голда

Слава богу, не ко мне. Мотл, умоляю, подожди во дворе, иначе мы останемся без ужина.

Мотл поспешно исчезает.

Менахем

Кто этот юноша?

Голда

Местный портняжка...

Менахем

Женат?

Голда

Кто за него пойдет? Ни кола ни двора...

Менахем

А в перспективе?

Голда

А в перспективе – больная мама...

Менахем

Жаль... У меня есть одна вдова в Житомире... Хочет молоденького...

Голда

Вы же его видели, Менахем. Есть у него силы на вдову?

Степан

Ну ладно... Я пойду, что ль?

Менахем

Степан, а ты женат?

Степан

А то как же!

Менахем

А дочери у тебя есть?

Степан

А то как же!

Менахем

Тогда у меня до тебя тоже есть разговор...

Менахем-Мендл и Степан уходят. Появляются дочери и Мотл, молча начинают расставлять стол. Цейтл отводит Голду в сторону.

Цейтл

Мама, зачем он приходил?

Голда

Я же просила: не подслушивать.

Цейтл

Так нельзя, мама... Я взрослый человек.

Голда

Девушка не должна этим хвастать, дочка...

Бросается к печи, достает противень с пирожками. Цейтл отводит в сторону Мотла.

Цейтл

Все точно... Это был сват... Ты сегодня же должен поговорить с отцом.

Мотл

Я как раз собирался...

Цейтл

Год собираешься...

Мотл

Но пойми: так не принято... Жених сам себя не предлагает!

Цейтл

Еще пару дней – и будет поздно... Если отец кому-то даст слово – все!

Мотл

Я же говорю: сегодня... У меня есть повод...

(Шепотом.)

Я ему сшил пиджак!

Цейтл

(испуганно)

Мотл, это большой риск. Вдруг не подойдет...

Мотл

Подойдет! У меня верный глаз...

Цейтл

С чего ты взял?

Мотл

Раз я выбрал тебя...

Во дворе слышны голоса, фырканье лошади.

Голда

Явился наконец...

Хава

Да еще не один. С ним какой-то парень...

Голда

О господи! Не дом – проходной двор!

Достает из печи противень с пирожками. Входит улыбающийся Тевье, с ним – Перчик.

Тевье

Всем доброй субботы! Голда, у нас гость! Знакомьтесь: это моя жена, это мои дочери, а это...

(Нерешительно смотрит на Мотла.)

Мотл

Я так... на минутку...

Тевье

Это Мотл. Он «так... на минутку...». А это Перчик! Вы его, наверное, помните... Когда-то в детстве вместе играли. А теперь, дети, он будет вас учить. И не чему-нибудь, а французскому... Перчик, скажите что-нибудь людям на известном вам языке...

Перчик

Бонсуар, медам энд месье... Же сюи тре оре ву вуар...

Тевье

(восторженно)

А?! Почище соловья... Вся деревня лопнет от зависти...

Голда

(ставит на табуретку таз, берет кувшин с водой)

Остынь, Тевье, остынь... Умой лицо и заодно голову...

Тевье

Все переодеваются... Справляем субботу!

Все расходятся. Тевье, фыркая, моется над тазом.

Голда

(тихо)

С ума сошел? Приводить в дом мужчину.

Тевье

Он местный, он знает закон...

Голда

Мужчина есть мужчина. Он за себя не ручается...

Тевье

Голда, тихо! Я ему сказал «да», мое слово – все!

Вытирается, надевает чистую белую рубаху.

Голда

Сегодня приходил человек от мясника Лейзера, просил, чтоб ты зашел для разговора...

Тевье

Знаю я его разговор. Хочет купить мою бурую корову. Не дам!

Голда

Он не сказал про корову. Он сказал: зайти для важного дела.

Тевье

Знаю его дела! Купить задешево, убить запросто, продать задорого... Не дам!

Голда

Тевье...

Тевье

(строго)

Голда! Я сказал!

Подходит Мотл со свертком под мышкой.

Мотл

Реб Тевье, у меня к вам тоже разговор...

Тевье

Не сейчас, Мотл. С разговорами мы не доберемся до стола. Солнце село, а я еще не одет.

Мотл

Я к тому и говорю...

(Разворачивает сверток.)

Вот. Это для вас.

Тевье

Что это?

Мотл

Пиджак.

Тевье

Мотл, я не заказывал...

Мотл

Это сюрприз. Первый сюрприз. Второй скажу, когда примерите...

Голда

Он же из разных кусков, Мотл.

Мотл

Голда, я бедный портной. У меня нет денег на дорогое сукно... Но я пустил в дело лучшие лоскуты. Наденьте, реб Тевье.

Тевье с трудом влезает в пиджак. Тот ему явно мал.

Мотл

Живот... Живот втяните, реб Тевье...

(С трудом застегивает пуговицу.)

Тевье

(тяжело дыша)

Ну как?

Голда

Что ты меня спрашиваешь? Человек старался, значит – спасибо...

Мотл

А по-моему, хорошо... Рукава потом чуть надставлю... А теперь, реб Тевье, второй сюрприз... Только я хочу, чтоб сперва собрались все. Вся ваша семья!

Тевье

(хрипит)

Говори скорее, Мотл. Я же застегнут...

Мотл

Все! Все сюда...

Входят дочери и Перчик.

Послушайте меня. Я хочу сказать вашему отцу важное слово...

Тевье

(хрипит)

Говори же, холера тебя подери!

Мотл

(страшно волнуясь)

Реб Тевье... Голда... Я простой человек. Я бедный человек... Я...

Треск. Пиджак лопнул по швам.

Тевье

Я предупреждал...

Мотл

(в отчаянии)

Я несчастный человек. Если у портного нет денег даже на хорошие нитки – он не портной... Ему лучше вообще не жить...

(Бросается к выходу, Цейтл останавливает его.)

Цейтл

(в отчаянии)

Папа! Мама! Так же нельзя... Он старался... Останься, Мотл!

Тевье

Конечно, конечно...

(Успокаивает Мотла.)

...Ну, ты мужчина или кто? Будем считать, что это жилетка... Не все сразу! Сказано в Писании: «И Бог создал все сущее не за один день...»

Мотл

Когда я куплю швейную машинку...

Тевье

Тогда и поговорим... Все! А сейчас – за стол. У нас суббота или нет?.. Женщины, отойдите, я должен помолиться.

Покрывает голову, начинает тихо молиться. К нему подходит Голда.

Голда

Тевье...

Тевье

Я сказал: женщинам отойти!

Голда

Но я же не досказала... Это важно.

(Тевье тихо молится.)

Приходила бабушка...

Тевье

Чья?

Голда

Моя.

Тевье

(вздрогнув)

У тебя жар, Голда? Бабушка умерла двадцать лет назад...

Голда

Поэтому и говорю: важно! Она пришла ко мне во сне...

Тевье

Тьфу! Уйди, женщина...

Голда

Послушай, это знак! Она пришла и сказала: пусть Тевье завтра же сходит к мяснику Лейзеру...

Тевье

(взбешен)

Твоя бабушка – дура, а ты – в нее...

Голда

Это грех, Тевье. А такие слова в канун субботы – грех вдвойне! Если бабушка пришла с того света, значит, это знак!

Тевье

(поднял руки к небу)

Скажи, тебе нужна такая молитва? Это же базар, а не молитва!

(Заорал.)

Все к столу! Зажечь свечи! И никаких разговоров, кроме как с Богом!

Все встают вокруг стола. Зажигают свечи. Звучит музыка. Все тихо поют песню субботы: «Всемогущий Господь! Спаси нас и сохрани! Убереги от напастей и болезней! Да пребудет мир в нашем доме!» С краю сцены появляется Степан с доской и рубанком.

Степан

Половина Анатовки справляла субботу, половина – воскресенье! Одни думали, что Бог отдыхал на шестой день, другие – на седьмой... А я думаю, Бог никогда не отдыхал... У Бога столько делов – не переделать!

Стругает доску. Песня усиливается.

Затемнение

Картина третья

Трактир. НЕСКОЛЬКО ПОСЕТИТЕЛЕЙ – за разными столиками. Чуть в стороне – писарь Федя с газетой. На возвышении – небольшой ОРКЕСТРИК. За стойкой – Трактирщик. Входит Менахем-Мендл, одет торжественно. Подходит к стойке.

Менахем

День добрый, Войцек.

Трактирщик

День добрый, пан Менахем.

Менахем

Войцек, нужен столик с краю для важного разговора. Бутылку хорошей водки, пару рюмок, букет цветов... И еще заказ музыкантам: играть тихо, для настроения...

Трактирщик

Все будет исполнено...

(Подводит Менахема к одному из столиков.)

Вот здесь удобно?

Менахем

Хорошо. Цветы дашь свежие, а не со вчерашних.

Трактирщик

Разумеется! Я чувствую, у пана завелись наконец денежки...

Менахем

Имеем задаток. Но если дело выгорит, будешь с процентами... Заказ запишешь на счет мясника Лейзера... Больше ни о чем не спрашивай – тайна!

Трактирщик

Конечно, пан Менахем. Тайна так тайна! Только рюмки надо ставить большие. Тевье из наперстков не пьет...

Менахем

Невозможно делать дела в деревне... Все все знают!

(Трактирщик уходит. Менахем подходит к Феде.)

Здравствуй, Федор.

Федя

Здравствуйте.

Менахем

Что пишут в газетах?

Федя

Ничего хорошего... Холера в Одессе, погром в Кишиневе.

Менахем

Поэтому я их и не покупаю. Надо иметь стальные нервы, чтобы еще платить за эти новости. Про Анатовку ничего?

Федя

Слава богу, нет.

Менахем

Тогда будем жить как жили... Послушай, Федор, у меня дело. Вы ведь у нас главный книжник, все про все читали... У вас нет на памяти какой-нибудь красивой истории, как старик полюбил молодую?

Федя

Зачем это вам?

Менахем

Федор, вы, слава богу, не еврей и не учитесь у нас дурному. Не отвечайте вопросом!

Федя

Отелло был в возрасте... Гетман Мазепа.

Менахем

О! Берем гетмана... Это нам ближе... И шо он ей говорил?

Федя

Погодите... Вспомню...

(Цитирует.)

Нет! Не мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами,
Упорно, медленно оно
В огне любви раскалено.
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет...

Менахем

Дай бог здоровья вам и тому, кто сочинил... Вот вам фотка.

(Протягивает фотографию.)

Вы этого человека знаете...

Федя

Лейзер-мясник!

Менахем

Тихо! Не кричите! Не Лейзер-мясник, а Лейзер-жених! Напишите ему тут эти Мазепины слова... Красивым почерком!.. Папа невесты уважает стихи...

Федя

(испуганно)

Вы говорите о Тевле-молочнике?

Менахем

Да. А что?

Федя

Мясник сватает дочь Тевля?

Менахем

Что вы так разволновались?! У вас интерес?

Федя

(вскочил)

Да говорите же!

Менахем

Тихо, юноша! Он сватает старшую... Цейтл. В чем проблема?

Федя

(обрадованно)

Тогда ни в чем! Тогда напишу...

Менахем

Имеете виды на другую?.. Сочувствую, юноша. Здесь это не принято... «Птица с рыбой гнезда не вьют!»...

Появился Лейзер-мясник. Он в строгом нарядном сюртуке. Менахем поспешно бросается ему навстречу.

Реб Лейзер! Прошу! Все готово!

(Подводит его к столику.)

Здесь вам не помешают.

Лейзер

Слушай, Менахем, что-то я нервничаю.

(Указывая на цветы.)

К чему весь этот цирлих-манирлих? Я человек простой. Да – да. Нет – нет. Согласен – ударили по рукам! Не согласен – повернись спиной, и зад в зад – кто дальше прыгнет!

Менахем

(поморщился)

Стоп! Реб Лейзер, это не разговор. Мы не в лавке... Дело тонкое... Вы первый раз женитесь во второй, поэтому слушайте меня... Беседа с папой – это отдельный случай! Начинайте издалека, потихоньку... Вы не в том возрасте, чтобы гнать лошадей...

Лейзер

При чем здесь возраст? У меня еще все как у молодого...

(Характерный жест.)

Менахем

(поморщился)

Это все покажете невесте. Папе нужно другое. Папе нужна обходительность...

Появился Тевье.

Я отсяду, меня нет, но если что – я здесь!

Отсаживается за другой столик.

Трактирщик

Вечер добрый, пан Тевье! Проходите, вас ждут...

Тевье

(тихо, Трактирщику)

Хочет купить мою бурую корову. Шиш ему!

Трактирщик

(подмигнул)

Все понимаю... Тайна есть тайна!

Тевье подходит к столику, где сидит Лейзер. Трактирщик делает знак музыкантам, те начинают играть лирическую мелодию.

Лейзер

Вечер добрый, реб Тевье.

Тевье

Вечер добрый, реб Лейзер.

Лейзер

Не выпьете ли со мной рюмку?

Тевье

Не хочу огорчать вас отказом.

(Садится.)

Лейзер

(наливая)

Ну, как дела? Как вообще?.. То... да се?..

Тевье

Слава богу, и «то» хорошо, и «се» не лучше. Трудимся помаленьку... Не сказано ли в Мудрой книге: «И в поте лица добудешь хлеб свой...»

Лейзер

И то верно. Тогда выпьем, как говорится, за жизнь... Лехаем!

Тевье

Лехаем!

Выпили.

Лейзер

Ну вот... А что вообще слышно?.. Что вы скажете, к примеру, за англо-бурскую войну?

Тевье

Не хочу вас расстраивать, реб Лейзер, но она уже пять лет как кончилась...

Лейзер

Да?! Тогда еще выпьем!

Тевье

Почему бы нет?

Выпили.

Лейзер

(решительно)

Реб Тевье, я человек простой. Вы тоже не из графьев, хотя и знаете грамоте... Зачем же нам кружить, как муха у окна, когда есть форточка? Короче! Вы, наверное, уже смекнули, зачем я вас позвал?

Тевье

Да, реб Лейзер. И хоть я выпил вашу водку, прямо скажу: нет!

Лейзер

Прямо спрошу: почему?

Тевье

Живое существо, реб Лейзер. Душа за нее болит.

Лейзер

Но всему есть срок. Приходит возраст – надо отдавать!

Тевье

Куда спешить? Река еще не загорелась...

Лейзер

Реб Тевье, что за нежности при нашей бедности? У вас, слава богу, она не одна... Есть еще!

Тевье

Тут только начни. Возьмете одну – захотите другую.

Лейзер

Что мне делать с двумя?

Тевье

Да то же, что и с одной... Я вас не первый день знаю.

Лейзер

(растерян)

Стоп, реб Тевье! Я должен пройтись, обдумать ваши слова...

(Встает, подходит к столику, за которым сидит Менахем.)

Слушай, Менахем, он не в себе... Предлагает мне двух!

Менахем

(обдумав услышанное)

Тонкий маневр... Не соглашайтесь! Настаивайте на одной...

Лейзер возвращается к столику Тевье.

Лейзер

Реб Тевье, разговор не получается, начнем сначала.

Тевье

С англо-бурской войны?

Лейзер

Нет. С «лехаем»!

Налили рюмки, выпили.

Реб Тевье, вы знаете, я человек простой, но обеспеченный. Слава богу, в доме все есть, в подвале – тоже... Только здесь пусто.

(Показал на сердце.)

Приходишь вечером домой, ложишься в чистую постель, гасишь свечу – и такое одиночество...

(Всхлипывает.)

Реб Тевье... У меня подушка к утру сырая...

Тевье

(озадачен)

Ну и чем здесь может помочь бурая корова?

Лейзер

(вздрогнул)

Вы называете ее «коровой»?

Тевье

А как я ее должен называть?!

Лейзер

Стоп! Я должен пройтись, обдумать ваши слова...

(Встает, подходит к столику Менахема.)

Менахем! Он говорит, что она – корова.

Менахем

(обдумав услышанное)

Сколько выпили?

Лейзер

Почти бутылку.

Менахем

Мало. Закажите еще...

(Делает знак Трактирщику.)

Попробуем вместе!

(Берет Лейзера под руку, направляется к Тевье, по дороге забирает у Федора фотографию.)

Реб Тевье! Я краем уха слышал ваш разговор и попробую внести ясность... Понимаю, что вас беспокоит... Полюбит ли она его? Как специалист скажу: живое существо способно на все!.. Вот портрет нашего Лейзера... Вот слова, от которых растает любое сердце... Передайте это ей...

Тевье

(обалдело)

Зачем?

Менахем

Пусть держит перед глазами.

Тевье

В хлеву?

(Решительно встал.)

Вы тут совсем сбрендили... Зачем ей портрет Лейзера? У нее же молоко скиснет!

Направился к выходу.

Лейзер

Стоп!

Менахем

Стоп!

Лейзер

Отойдите, Менахем, от вас одна неразбериха... Реб Тевье, скажите всем: о чем мы говорим?

Тевье

Ясно о чем. О моей бурой корове...

Лейзер

О корове?

(Хохочет.)

Вы слышали, люди?.. Я говорил о вашей дочери Цейтл...

Тевье

(помрачнел)

О моей дочери?

Менахем

(подскочил к Тевье)

Ну конечно... Все просто... Он – жених, я – сват... Вы – счастливый отец...

(Зашептал.)

Реб Тевье, я ваш родственник и зла не пожелаю... Это выигрыш в лотерею.

(Сует фотографию.)

...Она же с ним – как сыр в масле...

Тевье

Уйди, Менахем. Я должен подумать.

Отходит в сторону, угрюмо разглядывает фотографию, потом обращается к небу.

Скажи, Ты этого хочешь?! Я-то хотел молодого и образованного. Но богатство возраста не имеет. И не сказано ли в Писании: «Нет хлеба, нет ученья...» Зато дочь моя будет сразу иметь дом и хозяйство... Разве это не счастье?.. А то, что он стар, а она молода... Так это его проблемы... Богатая вдова не пропадет! Тьфу! Грех какой... Это все потому, что Ты не даешь мне совета!.. Всегда в трудный момент Тевье должен сам ломать свою бедную голову... И что скажет Голда? Стой! Голда уже сказала: «Иди к мяснику. Ко мне приходила бабушка...» Это знак?! Покойники просто так не разгуливают!.. Значит, судьба!.. Или нет?!.

(Решительно.)

Все! Ты дал знак, значит, Ты несешь ответственность...

(Вернулся к столу.)

Я согласен!

Лейзер

Слово Тевье?

Тевье

Слово!

Лейзер

Дайте я вас обниму, папа!

Тевье

(отстраняясь)

Не сразу, реб Лейзер. Когда отец и сын ровесники – к этому надо привыкнуть...

Менахем

(обращаясь к присутствующим)

Все слышали: Тевье сказал «да»! Всем вина за счет жениха...

(Оркестру.)

Лехаем!

Оркестр заиграл веселую музыку.

Тевье

За всех! За жизнь!

Звон бокалов. Поздравления. Грянула песня «Лехаем». Песня перешла в танец. Трактир загудел. Разгоряченный, захмелевший Тевье вышел во двор перед трактиром, где стояла его лошадка.

(Лошади.)

Ну что, старая... Вот мы и сосватали нашу девочку... Довезешь со свадьбы-то, а?

(Обнял лошадь, поцеловал.)

Появился Урядник, секунду наблюдал с улыбкой за Тевье.

Урядник

Здоров, Тевль!

Тевье

Здравия желаю, ваше благородие!

Урядник

Прими поздравления, Тевль!

Тевье

Уже знаете?

Урядник

А то как же? На то и урядник, чтоб все знать... Так что поздравляю... Или, по-вашему, мазалтов.

Тевье

Спасибо на добром слове...

Урядник

Да... Вот еще... Должок за мной... За сыр...

(Протягивает деньги.)

Тевье

(отстраняясь)

Обижаете, ваше благородие. Какие счеты у земляков?

Урядник

(строго)

Возьми! Пригодятся...

Тевье

(настороженно)

Что-нибудь случилось?

Урядник

Чего случилось? Ничего пока не случилось... Впрочем, новость есть... Приходили до меня люди.

Тевье

Яки люди?

Урядник

Разные... Из города... Хотят тут устроить небольшой шум...

Тевье

Погром?

Урядник

Шо болтаешь?! У нас деревня – не Кишинев!.. Так... легкое волнение... Поорут... Пару стекол выбьют.

Тевье

Это за что же?

Урядник

А то сам не знаешь? Кровь в мацу кладете... Православных ксплатируете...

Тевье

Вы мою мацу не раз ели, ваше благородие... А если Степан мне в субботу коров подоит, а я ему – в воскресенье, кому от этого плохо?

Урядник

Слушай, Тевль, я с тобой толкую, потому что ты умный человек. У меня предписание: не препятствовать! У нас конституция, мать ее так!.. Свобода проявлений... Понял? И вашим накажи, чтоб не задирались... Пошумят – разойдутся. А сейчас гуляй, не думай... Еще раз поздравляю!

Уходит.

Тевье

(обращаясь к небу)

А это Тебе зачем? Такая новость в такой день... Понимаю, что мы – избранный народ. Бог мой, но иногда выбирай кого-нибудь другого...

Из трактира вываливается орава поющих и танцующих.

Все

Давай, Тевье! За жизнь!

(Хлопают в ладоши.)

Тевье вынимает платок, отчаянно пляшет.

Картина четвертая

Утро следующего дня. Двор перед домом Тевье. Сидит Годл. Появляется Перчик.

Перчик

Доброе утро.

Годл

Доброе утро, учитель.

Перчик

Извините, опоздал. Уходил в город. Надо было встретиться с друзьями.

Годл

Я не спрашиваю, где вы ночевали. Это нас не должно касаться.

Перчик

А где остальные?

Годл

Цейтл сегодня не будет заниматься.

Перчик

Готовится к свадьбе?

Годл

Да.

Перчик

И что делает?

Годл

Плачет.

Перчик

Понятно. А Хава?

Годл

Хава ее утешает.

Перчик

Понятно. А что же вы?

Годл

(недовольно)

Давайте начнем урок.

Перчик

Я начал. И спрашиваю: почему вы не с сестрой?

Годл

Я ее поздравила.

Перчик

Считаете, ей повезло?

Годл

Я считаю, родители лучше нас знают, что хорошо, что плохо.

Перчик

Вы очень послушная дочь... Возможно, и вам повезет – выдадут за богатого старика.

Годл

Значит, судьба. В Писании сказано: «Ангел прилетает за сорок дней до рождения девушки и шепчет ей имя нареченного».

Перчик

(с улыбкой)

Странно, что он прошептал имя Лейзера-мясника. Ведь тот был в то время еще женат...

Годл

Мы простые люди. Легко смеяться над нашей верой.

Перчик

Есть вера, а есть предрассудки. Весь мир меняется, только у вас в деревне время остановилось. Девушки отдельно – юноши отдельно... Невеста жениха впервые видит на свадьбе. Замужним стригут волосы... Дикость!

Годл

В городе девушки лучше?

Перчик

В городе девушки независимы. И мы их уважаем. Относимся к ним как к равным. Даже здороваемся за руку...

(Протянул руку.)

Здравствуй, товарищ!

Годл

(потупившись)

Здравствуйте.

Перчик

Ну не бойтесь... Протяните руку...

(Годл нерешительно протянула ладошку.)

Ну вот! Видите, ничего страшного не случилось... Ваша рука – в моей руке...

Годл

И что дальше?

Перчик

Дальше – все, что хотим... Можем разговаривать о чем-нибудь... Можем танцевать. Вы танцуете падеспань?

Годл

Это неприлично.

Перчик

Что ж тут неприличного? Раз-два-три... Раз-два-три...

(Показывает несколько движений.)

Из дома выходит Тевье. Видно, он себя неважно чувствует после вчерашней выпивки. Секунду тупо смотрит на танцующих Перчика и Годл.

Годл и Перчик

(остановившись)

Добрый день!

Тевье

День? Уже рассвело?

(Взглянул на небо, тряхнул головой, застонал.)

А я думал, еще сплю... Вы здесь зачем?

Годл

У нас урок, папа.

Тевье

А... А мне показалось... Все прыгает в глазах. А где... Годл?

Годл

Я Годл.

Тевье

Ты уверена?.. Нет... Я имел в виду жену... Жену мою как зовут?

Появляется Голда.

Голда

Голда меня зовут. Пора бы запомнить...

(Годл и Перчику.)

Идите, дети. Сейчас с папой говорить бесполезно... Он должен очухаться!

Перчик и Годл уходят.

Тевье

(строго)

Голда, я тебе сто раз говорил: блюди уважение! Что значит: «очухаться»? Мужчина имеет право на похмелье... Разве не сказано в Писании: «И выпил Ной вина, и опьянел, и лежал в шатре своем...»?

(Застонал.)

Голда

(пододвинув стул)

Садись, Ной, будем лечиться...

(Тевье послушно садится, Голда простирает над ним руки.)

Нашел время напиваться. В доме такое событие... Я глаз не сомкнула. Где взять девочке свадебное платье? Где туфли? Чем платить музыкантам?

Тевье

Это пусть жених думает.

Голда

Мы бедные, но не нищие... Невесте – хоть какое-то, да приданое... Белье... Посуду... Где все брать?

Тевье

Голда, ты мне снимаешь головную боль или делаешь? Скажи лучше: что Цейтл?

Голда

Заперлась в сарае и ревет. Я стала ее успокаивать – сама расплакалась...

(Всхлипывает.)

Тевье

О Бог мой! Не из ребра Ты сделал женщину – из слез... У нас радость или нет? Вся деревня меня поздравляла... Все отцы сейчас кусают губы от зависти...

Голда

Скажи ей это, Тевье, скажи! Богатый жених – награда за наши молитвы.

Тевье

Отойди, женщина! Не подсказывай мне слова, когда есть Святое Писание... А в нем сказано...

(Задумался.)

Нет, скажу ей, чтоб два раза не повторять...

(Подошел к двери сарая, постучал.)

Цейтл! Это я! Открой, дочка...

(Прислушался.)

Открой, тебе говорю... Дочка, я сам вешал эту дверь, сам ее и снесу!

Голда

Дочка, не серди папу. Папа в гневе страшен!

Тевье

Спасибо за помощь, Голда. Теперь уходи! Я хочу остаться с дочерью и дверью наедине...

Голда

(запричитала)

О боже! Если первая так выходит замуж, где взять силы на остальных?..

Голда уходит.

Тевье

(потрогал дверь)

Перед тем как сломать, я все-таки скажу слова Святого Писания: «Слушай наставленья отца своего и обретешь радость...» А еще, дочка, я тебе скажу не из Писания, а из собственной жизни... Когда мы с матерью поженились, у нас не было дома, а был только вот такой сарайчик... И пола в нем не было, и крыша как решето... И когда она тебя рожала, пошел сильный дождь. Ручьи лились с неба, и я боялся, что Голда захлебнется не от крика, а от воды... И тогда я упал на колени и сказал нашему Богу: «Сверши милость, Всемогущий! Пусть только мой первенец родится здоровым, а уж я сил не пощажу, день и ночь работать буду, но над его головой будет всегда крепкая крыша, и над детьми его, и над внуками, до седьмого колена!» Вот какую клятву дал я – и ты родилась здоровенькой! И не дрожала от холода и дождя! А теперь я отдаю тебя в хороший дом. Так что нравится тебе жених или нет – это дело десятое... О детях надо думать. О внуках!.. До седьмого колена! Так нам на роду написано. Ибо, если б праотец наш Авраам не думал о семи своих коленах, мы б и сейчас были рабами в Египте!.. А теперь я ломаю дверь, ибо дальше слова теряют смысл...

Разбежался, высадил дверь плечом, исчез в темноте. Послышался крик испуганных кур, и полетели перья... Во дворе появились Цейтл и Мотл.

Тевье

(появляясь из сарая, дочери)

Где ты была?

Мотл

Она ходила к реке.

Тевье

Я спрашиваю дочь.

Мотл

Она ходила к реке, реб Тевье... К самому обрыву. Туда, где в прошлом году утопилась дочь сапожника Якова...

Тевье

(схватил Мотла за ворот)

Что ты сказал?! Такие слова – отцу?!

Цейтл

(падает перед Тевье на колени)

Папа, прости меня... Пожалей меня! Не отдавай меня за Лейзера...

Тевье

Встань!

Цейтл

(плача)

Если из-за денег – я на все готова... В прислуги пойду, камни таскать буду!

Тевье

Встань! Я дал слово, дочка. Слово мужчины – закон! Оно дороже золота!

Мотл

Но не дороже дочери...

Тевье

Ты уйди! У нас семейный разговор. Посторонние пусть ждут за забором!

Мотл

Я не посторонний!

Тевье

Вот как? Кто ж ты ей? Брат, дядя, муж?

Мотл

Я ей... Мотл! Мотл, которого она любит, и я ее люблю. Мы дали друг другу слово...

Тевье

(возмущенно)

Они дали слово! Вы слышите, люди? Мир сошел с ума!..

Мотл

Слово мужчины – закон! Вы сами так сказали...

Тевье

Мало ли что я сказал. Не каждую глупость надо повторять!.. Послушай, Мотл, если ты хотел жениться на моей дочери, ты, как положено, должен был прислать свата. А если б ты прислал свата, я бы перед ним закрыл дверь. И только из-за двери сказал бы: дочь Тевье надо заслужить! А если у жениха пустой карман, то, кроме фиги, мне туда положить нечего! Вот что я сказал бы твоему свату, если б такой дурак нашелся. А теперь иди отсюда подобру-поздорову, не зли меня, ибо сказано в Писании: «Страшен был Голиаф в гневе!»

Мотл

(угрюмо)

Никуда я не пойду! В Писании сказано: «И стоял Давид, как скала!»

Тевье

(вновь схватил Мотла за воротник)

Что?! Ты будешь учить меня Писанию?! Помнишь, что там сказано о казнях египетских?!

Мотл

(задыхаясь)

Помню, реб Тевье... «И сказал Господь Моисею: я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь... И рыба в реке умрет, и вскипит река жабами...»

Тевье

(несколько опешив)

Откуда, мерзавец, ты так хорошо знаешь Писание?

Мотл

Готовился к разговору с вами... Половину Торы выучил наизусть.

Тевье

(поднял глаза к небу)

Как Тебе это понравится? А?.. Впрочем, Тебе нравится, я чувствую...

Цейтл

Благослови нас, папа. Я же знаю, ты добрый...

Тевье

(растерянно)

Добрый, дочка, добрый... И поэтому знаю, как будет рваться мое сердце, когда буду видеть вашу нищую жизнь.

Мотл

Я буду работать, реб Тевье... День и ночь!.. Ваша дочь не будет знать нужды. Мне дают швейную машинку в кредит!

Тевье

Ему дают машинку... Напиши об этом Ротшильду, он умрет от зависти!.. Ох, господи, господи! Видно, на роду написано бедным плодить бедных... Ладно! Пусть будет по-вашему! Я согласен!

Мотл

Если вы согласны, реб Тевье, значит, это мы подчиняемся вашему слову...

Тевье

(усмехнувшись)

Вежливый зять – уже неплохо... А теперь идите! Мне надо обрадовать маму. Да так, чтоб она не умерла с горя...

Мотл и Цейтл уходят. Тевье секунду сидит в раздумье, потом срывает подсолнух, стучит в окно дома.

Голда!

В окне появляется Голда.

Это тебе!

(Протягивает подсолнух.)

Голда

Что это?

Тевье

Цветок.

Голда

Ну, предположим.

(Берет подсолнух.)

А зачем?

Тевье

Голда, легче лечь в гроб, чем ответить на все твои вопросы! Муж дарит жене цветы – это нормально!

Голда

Если учесть, что один раз за двадцать лет, то – да...

Тевье

Когда-то ж надо начинать... Сбылась твоя мечта – ты стала тещей!

Голда

Тевье, дай я тебя расцелую!

Тевье

Не откажусь!

Голда выбегает из дома, бросается к мужу с объятиями, тот ее останавливает.

Сперва один вопрос...

Голда

Погоди с вопросами... Лучше скажи, как все это было?

Тевье

Твоя беда, Голда, что ты не умеешь подслушивать. Мне было бы проще... Ну, в общем, все, как ты хотела: я сказал – она согласилась, я стоял на своем – она еще больше обрадовалась...

Голда

Ты ее бил?

Тевье

Побойся Бога, Голда... Разве не сказано в Писании: «Ласковое слово смягчает сердце»? Или что-то в этом роде... Но подожди. Ответь на вопрос: к тебе действительно являлась во сне покойная бабушка?

Голда

Ну конечно.

Тевье

И назвала имя Лейзера-мясника?

Голда

Почему ты спрашиваешь?

Тевье

Потому что она сегодня явилась и ко мне...

Голда

Чего это вдруг?

Тевье

Откуда мне знать? Твоя бабушка...

Голда

Моя бабушка – женщина порядочная. Она не придет ночью к мужчине...

Тевье

Это было под утро. И вообще, не о том речь... Бабушка явилась и назвала имя жениха: Мотл-портной.

Голда

(испуганно)

Тебе показалось.

Тевье

Я переспросил. Мотл, говорит, – и точка!

Голда

(возмущенно)

Голоштанник! Да она в своем уме?! Тевье, ты был пьян...

Тевье

Я – может быть, но бабушка – трезва как стеклышко... Мотл, говорит, или прокляну!!!

Голда

(подозрительно)

Тевье, к чему ты клонишь?.. Мне она назвала Лейзера... Что ты задумал, Тевье?

Тевье

Надо выяснить, Голда!.. В таком деле не должно быть ошибок. Надо встретиться с бабушкой еще раз...

Голда

Где?!

Тевье

На кладбище... Пойдем туда в полночь, зажжем свечу... Думаю, бабушка явится... Это все-таки ее правнучка... Если боишься привидений, я готов сходить один...

Голда

(застонала)

О, горе мне!.. Я все поняла! Старый дурак! То-то я смотрю, этот Мотл крутится здесь с утра. Тебя просили уговорить дочь, а не меня... О горе!

(Плачет.)

Тевье

(обнял ее)

Тихо, Голда, тихо... Что люди скажут?! Ну, поплачь, поплачь... Разве не плакала твоя мать, когда отдавала тебя мне?.. И ничего! Обошлось! Пять дочерей ее слезами проросло. Одна лучше другой!..

Голда плачет. Во двор входят дочери Тевье, СОСЕДИ, молча начинают устанавливать свадебные столы. Появляются музыканты, тихо начинают наигрывать свадебную мелодию. Загораются свечи. Появляются ГОСТИ. Справа в сопровождении родственников выходит Мотл, он подчеркнуто торжествен, на нем свадебный сюртук, цилиндр. Слева – сестры выводят Цейтл в подвенечном платье. Под пение гостей Мотл и Цейтл выходят на середину сцены, Мотл покрывает голову своей избранницы вуалью. ЧЕТВЕРО МУЖЧИН растягивают над новобрачными балдахин. К ним приближается раввин, молится над бокалом вина, затем поочередно дает отпить от него жениху и невесте. После этого Цейтл делает круг, обходя своего жениха, Мотл надевает ей на палец кольцо.

Пустой бокал раввин ставит на землю. Пауза. Мотл оглядывает всех счастливым взглядом и решительно давит каблуком бокал... Музыкальный аккорд. Веселье!!!

Картина пятая

Поздний вечер. Свадьба в разгаре. Все сидят за длинными столами, мужчины – справа, женщины – слева. Кто-то еще танцует. Захмелевший оркестр наигрывает веселую мелодию. Шум. Оживленный беспорядочный разговор. Перчик влезает на стул.

Перчик

Тихо! Я хочу сказать слово!

Голоса

Ша! Перчик говорит! Дайте сказать человеку... Тихо!!!

(Шум от этого, естественно, усиливается.)

Перчик

(стараясь перекричать шум)

Земляки! Евреи!.. Граждане!!!

(При этом обращении шум стихает, все удивленно уставились на Перчика.)

Да! Я говорю вам «граждане», поскольку в России принята конституция, и мы тоже имеем гражданские права, хотя и в урезанном виде...

Менахем

В «обрезанном»...

(Смех.)

Тевье

Менахем, я попросил бы... Здесь женщины.

Менахем

Разве для них это новость?

(Смех.)

Перчик

Тихо! Я говорю о серьезном. Права не дают – права завоевывают...

Тевье

Перчик, у нас свадьба...

Перчик

Я помню, реб Тевье! И я предлагаю выпить за молодых, за жениха и невесту, которые впервые совершили гражданский поступок – сами избрали друг друга... И пусть они оба бедняки, но они представители одного класса – класса трудящихся! Любовь, усиленная классовой спайкой, поможет им создать крепкую семью, ячейку нового общества!!!

Лейзер

Я не понял. При чем тут классы? Мы не в хедере.

Один из гостей

При чем тут хедер? Он имеет в виду поезд... Там есть первый класс, второй...

Тевье

При чем тут поезд? Они никуда не едут...

Шум.

Менахем

Тихо! Я поясню мысль...

Голоса

Ша! Менахем будет говорить! Тихо!

Менахем

Эта свадьба случилась без свата, но сват все-таки имеет слово...

Голда

Менахем! Не скажи лишнего. Ты здесь просто родственник.

Менахем

Мадам Голда, я вас умоляю... Меня учить вежливости – все равно что плевать против ветра. Да, я здесь всего лишь родственник, а реб Лейзер – всего лишь сосед. Но иметь такого соседа – дай бог каждому! Он не помнит обиды! И пришел сюда с открытым сердцем и не с пустыми руками... Реб Лейзер, пару слов для собравшихся!

Лейзер

(вставая)

Ну, что сказать? Я человек простой! И не знаю этих цирлих-манирлих... Как говорится: да – да! нет – нет! Как в лавке! Нравится – бери грудинку спереди, не нравится – получай обрезки сзади...

Менахем

(недовольно)

Реб Лейзер, не отвлекайтесь! Переходите к подаркам...

Лейзер

Я подумал: раз Мотлу повезло, значит, он родился в рубашке. Но он человек бедный, и ее пора менять. Пусть сошьет своим детям новую...

(Ставит на стол швейную машинку.)

Мотл

(не веря своему счастью)

Машинка!!!

Лейзер

Да, Мотл. Настоящий «Зингер». Сколько она стоит, говорить не буду, иначе тебе будет жалко ее крутить...

Голда

Реб Лейзер, вы благородный человек!

Лейзер

Да, Голда. У нас в деревне не каждый может этим похвастать.

Тевье

(встает)

Лейзер, если это камень в мой огород, я хочу ответить...

Лейзер

Реб Тевье, я вас умоляю... Не надо слов. Я знаю им цену. Мотл, возьми машинку!

(Мотл робко берет машинку.)

Тевье

Мотл, верни машинку. Я хочу объясниться...

Мотл протягивает машинку. Гости зашумели. Менахем вносит большой фотоаппарат на ножках.

Менахем

(кричит)

Хватит выяснений... Это еще не все подарки...

Голда

Бог мой, что это?

Менахем

Фотографический аппарат, мадам Голда. И стоит тоже добрую сотню рублей.

Голда

Я с ума сойду!

Менахем

Не торопитесь. Потому что аппарат Лейзер купил как раз себе! Но фотки он подарит, чтоб вы всегда имели память про этот приятный момент...

(Встает за аппарат, начинает настраивать фокус.)

Жених, отдайте машинку ребу Лейзеру. Реб Лейзер, отдавайте машинку жениху и делайте доброе лицо. Сейчас вылетит птичка!!!

Тевье

Лейзер, я все-таки хочу объясниться...

Лейзер

Не сейчас, реб Тевье! Умоляю! Я фотографируюсь...

Тевье

Нет, я скажу... Вы же знаете, явилась с того света бабушка Цейтл...

Лейзер

Ваша бабушка всегда была неумной женщиной!!! Мотл, бери машинку!

Тевье

(возмущенно)

Мотл, не бери!

(Лейзеру.)

Бабушка была неумной женщиной?

Лейзер

(зло)

Да! А с годами совсем рехнулась...

Тевье

С какими годами? Она ваша ровесница!

Шум. Менахем нажал рычажок. Вспышка магния. Лейзер замер с искаженным лицом. Тевье хохочет.

Хорошенькое личико! Стоит повесить на стенку.

Лейзер

(набросился на Менахема)

Что ты сделал, болван?! Верни обратно!..

Менахем

Реб Лейзер, он обратно не снимает!..

Лейзер

Это мой аппарат!

(Бросается с кулаками на аппарат, Менахем его останавливает.)

Ноги моей не будет в этом доме!!!

Менахем

(удерживая его)

Реб Лейзер, сейчас все выясним...

Лейзер

Чего выяснять?! Мы с ним пили... Он дал слово... Ты свидетель!

Тевье

Бабушка пришла позже...

Шум.

Менахем

Тихо!!! Погодите!.. Обо всем можно договориться. Доверьтесь профессионалу... Реб Тевье, вы обещали выдать дочь за Лейзера?

Тевье

Обещал. Но потом пришла бабушка...

Менахем

Все правильно! Давайте же подумаем, как сделать, чтоб и бабушку не обижать, и чтоб реб Лейзер не огорчался. Вы отдали старшую дочь Мотлу! Дай бог ей счастья... Но ведь у вас осталось еще четверо... Чувствуете намек? Невеста ушла – жених остался... Теперь Годл на выданье...

Перчик

Ах, вот оно что?! Я так и знал! Богач никогда копейки зря не истратит, только с процентами!!! Мотл, верни машинку!

Менахем

Молодой человек, с вами у меня вообще нет разговора...

Перчик

Зато у меня есть! Сводник!

(Хватает Менахема за лацканы.)

Общий гвалт. Гости вскочили с мест. Вот-вот начнется потасовка.

Ребе

(вскочил на стул)

Тихо-о!!

Голоса

Ша! Ребе говорит! Тихо...

Все понемногу успокаиваются.

Тевье

Ребе, скажи слово!

Ребе

Хорошо... Во-первых... сядем.

Тевье

Мудро!

(Садится, за ним садятся остальные.)

Ребе

Во-вторых... расправим лица и сделаем их приятными для взгляда.

Лейзер

Я не буду фотографироваться!

Ребе

При чем здесь это, Лейзер? Разве наше лицо должно быть добрым только для этой дырочки? Разве не смотрит на нас с неба наш Главный фотограф?!. Разве не болит у Него сердце за всех нас? Доставим же Ему радость, люди!..

Тевье

Ребе прав!.. Доставим!.. Реб Лейзер... Если я вас в чем-то обидел – прошу прощения... Вот моя рука...

(Протягивает руку.)

Лейзер

(нерешительно)

...Тевье, я человек простой...

Менахем

Не начинайте сначала, Лейзер. Пожмите руку...

Лейзер

Если Богу это приятно – почему нет?

(Пожимает руку.)

Вздох облегчения. Все радостно зашумели.

Менахем

(подбежал к фотоаппарату)

Ребе, я могу щелкнуть этот момент?.. Тевье, Лейзер, еще раз пожмите...

Тевье

Не для тебя это делается, Менахем!

Менахем

А кто спорит? Может ли такой маленький человек, как я, составлять Богу конкуренцию?.. Но на всякий случай...

Тевье и Лейзер еще раз пожимают друг другу руки, поворачиваются к аппарату.

Раз! Два!..

Вспышка магния соединяется со звоном разбитого стекла. За стеной – шум, крики. Быстро входит мрачный Урядник. Пауза. Все смотрят на него.

Тевье

Здравствуйте, ваше благородие!

Урядник

Вижу, что не совсем вовремя... Но что поделать...

Тевье

Гостям мы всегда рады!

Урядник

(мрачно)

Я не один, Тевль. Там люди до тебе...

Быстро выходит, затем в дом врываются несколько мужиков с палками. Вместе с ними – белокурая девушка городского вида.

Первый мужик

(несколько оробев)

Здорово, Тевель!

Тевье

Здорово, добры люди! С чем пришли?

Первый мужик

Так вот... Таки дела... Побить вас треба... Громада так порешила...

(Неуверенно посматривает на мужиков.)

Девушка

(решительно сделав шаг вперед)

Мы, истинные патриоты России, говорим вам, дьявольскому племени: изыдите с нашей земли!!! Чаша народного гнева переполнена! Бойтесь, если она прольется на ваши головы!!!

(Обернулась к мужикам.)

Тебе слово, народ православный!!!

Мужики нерешительно что-то бормочут; выталкивают вперед второго мужика.

Мужики

Скажи, Микола...

Микола

Ну чего говорить?.. Сами знают... Жиды! Христа распяли!!!

(Взял со стала тарелку, бросил на пол. Тишина. Подумав, бросил еще на пол бокал.)

Перчик

(сделав шаг вперед)

А ну, подними!

Микола нерешительно нагнулся, желая поднять бокал, но девушка решительно шагнула, раздавила бокал каблуком. Перчик бросился к ней.

Девушка

(распаляясь)

Ну, ударь, ударь, пархатый...

(Кричит.)

Православные, заступитесь!!!

В дом врываются еще НЕСКОЛЬКО МУЖИКОВ, начинают переворачивать столы, сбрасывают посуду. Один из мужиков схватил швейную машинку.

Мотл

Не надо!! Умоляю!!

Набрасывается на мужика, но, получив удар по голове, валится на пол. Следом с грохотом летит машинка. Быстро входит Урядник.

Урядник

Хватит!!

(Отбрасывает разгулявшихся мужиков.)

Девушка

Гнев народа священен!

Урядник

Я сказал: хватит!!! Я предупреждал, Тевель!.. Видишь, как оно... Ну, извиняй...

(Гостям.)

А вы все – тоже по домам. А то без вас хаты спалят, не дай бог!

Уходит вместе с мужиками. Пауза. Один из музыкантов поднял брошенную скрипку, попробовал смычок, тихо заиграл...

Тевье

(тихо)

Ребе, вы мудрый человек, ответьте: а зачем Богу на это смотреть?

Ребе не ответил, тихо начал молиться.

Менахем, а ты что стоишь? Где твоя птичка? Снимай!

Менахем щелкнул аппаратом. Вновь вдалеке послышался звон разбитого стекла. На заднике возникли очертания разгромленных домов, разбитых витрин, испуганные лица стариков, женщин, детей. Тихо играет скрипач.

Занавес

Часть вторая

Картина первая

Настала зима. Белый снег покрыл крыши домов Анатовки, засыпал деревья. Проваливаясь в сугробы, Тевье тащит свою повозку с бидонами.

Тевье

Верно сказано: неисповедимы пути Господа нашего! А при таком снеге и подавно... Конечно, наши предки через пустыню шли, муки терпели, но все-таки не мерзли... А тут ни рук, ни ног, один язык еще как-то словами ворочается...

(Поднял глаза к небу.)

Дыхнул бы теплом своим. Господи... Обогрел бы... Я ж, по Твоей воле, все-таки молочник, а не мороженщик... Лошадь хромает, коровы орут, Голда расхворалась... Не много ли для одного человека?.. А если это конец света наступает, то дай знак... Пришли Мессию! Пусть приведет нас в Царство Света.

В глубине сцены появляется мужчина в кургузом пиджачке, засыпанном снегом.

Ох, господи! Это еще кто?

Менахем

Добрый вечер, реб Тевье!

Тевье

Менахем?.. Вот так так... А я думал: кто это полем идет? Не новый ли Мессия?.. Потом гляжу – нет. Если Мессия, то почему без пальто?

Менахем

Ах, реб Тевье, не напоминайте мне про пальто. Идиотский случай. Ехал поездом с Киева. Напротив садится симпатичный господин. В шубе. Я, натурально, говорю: не желаете ли в картишки? Он говорит: с удовольствием!..

Тевье

И что?

Менахем

Долго рассказывать... В общем, беру два раза не тот прикуп, на третий – отдаю пальто... Однако не зайти ли нам в трактир? У меня до вас срочный разговор.

Тевье

Не могу, Менахем. Голда хворает... Пойдем ко мне.

Менахем

(испуганно)

К вам нельзя... Я уже был.

Тевье

Опять сватал?

Менахем

Реб Тевье, полгода как бросил это дело. Всех не переженишь! Я теперь страховой агент. Страхую от несчастных случаев. Пожар, наводнение...

Тевье

И с этим шел ко мне?

Менахем

Реб Тевье, я похож на идиота? Чему у вас гореть? Ладно. Не можете в трактир – поговорим здесь. Начну по порядку, издалека...

Тевье

Не очень издалека, Менахем. Замерзнешь по дороге.

Менахем

Так вот, реб Тевье, вы меня сто лет знаете... Я человек современный, но от политики держусь в стороне. Не еврейское это дело. Но вот три недели назад иду по Крещатику, вдруг вижу – толпа. Крики, шум... Впереди – человек с красным флагом. И кто? Перчик!

Тевье

Наш?

Менахем

А чей же? Я тогда сразу подумал: ох, не еврейское это дело – махать флагом на Крещатике... И только это хотел ему сказать, как налетели казаки... Свист! Шашки наголо! Кошмар! Хватают меня, тащат в участок... Допросы, расспросы: кто нес флаг? Где этот Перчик? Я говорю: господа хорошие, откуда мне знать? Я, конечно, агент, но страховой... Куда там! Всыпали по первое число, бросили в холодную... Мороз не как здесь, но тоже неприятно. В общем, через две недели едва отпустили... Взял я ноги в руки – и бегом из Киева! Провалитесь, думаю, со своими демонстрациями. Поеду в Анатовку, попробую застраховать Лейзера Волфа от наводнения. Приезжаю – Лейзера нет. Я к одному, к другому. Никто не страхуется. Не верят, что может быть еще хуже, чем сейчас... Продрог! Зайду, думаю, к родственникам, Голда не откажет в тарелке супа... Подхожу, дышу в окно – и – мама родная! – он там!

Тевье

Кто?

Менахем

Перчик! Собственной персоной.

Тевье

Когда ж он приехал?

Менахем

Это я вас должен спрашивать...

(Перешел на шепот.)

Реб Тевье, его ищут. За его голову дают хороший куш...

Тевье

(строго)

И ты хотел...

Менахем

Реб Тевье, я похож на мерзавца? Если б я торговал людьми, я б давно ездил в карете, а не мерз здесь на ветру... Просто я подумал: надо предупредить Тевье. Зачем ему еще и эти несчастья? Пусть Перчик тихо уйдет, пока урядник не разнюхал. Вот поэтому я вас здесь сторожу... Замерз как сосулька!.. И если вы не можете пойти со мной в трактир, то, думаю, пару целковых одолжите?.. Не такая уж большая цена за участие в революции?

Тевье

(протянул деньги)

На, возьми! И в трактире спьяну не сболтни...

Менахем

Реб Тевье, на два целковых не разговоришься...

Уходит.

Тевье

(глядя ему вслед)

Бедный Менахем! Нашел кого страховать. Да вся наша жизнь – один сплошной несчастный случай.

Взял оглобли, потащил повозку к дому.

Картина вторая

Высвечивается комната в доме Тевье. Две младшие дочери, Шпринца и Бейлке, возятся у печи, пытаясь достать оттуда чугунок.

Шпринца

Держи! Держи! Ухват давай... Эх!

Чугунок выпал, его содержимое разлилось по полу. Входит Тевье, бросается им на помощь.

Тевье

Что вы делаете?

Шпринца

Суп убежал.

Тевье

Вижу! Теперь не догоните...

(Хватает чугунок, обжигается.)

От, холера на его голову!!! Где мать?

Бейлке

За водой пошла.

Тевье

А старшие?

Бейлке

Хава в лавку пошла. А Годл гуляет с дядей.

Тевье

С каким еще дядей?! С Перчиком? А ну быстро оденьтесь и приведите их сюда!

Бейлке и Шпринца уходят; Тевье берет тряпку, начинает вытирать пол.

Баб полон дом, а мужчина должен наводить чистоту...

Входит Голда с ведром воды.

Голда

(печально)

Ну, что ты рычишь? Что рычишь?

Тевье

Я рычу, потому что...

(Схватил у нее ведро.)

Зачем ты встала? Доктор велел лежать!

Голда

(устало садится)

Доктор велел... Лучше б меньше брал денег за советы.

Тевье

Как себя чувствуешь?

Голда

Чувствую.

Тевье

Какая температура?

Голда

Лучше, чем на улице...

Тевье

Голда, тебе надо было выходить замуж за глухонемого. Ему было бы проще с тобой разговаривать.

Голда

Перчик приехал.

Тевье

Я слышал. Зачем?

Голда

Откуда мне знать? Говорит: просто повидать...

Тевье

«Просто» из Киева не ездят. И почему они ушли на улицу? У них тайны от тебя?

Голда

Послушай, Тевье, по-моему, у них что-то серьезное. Я знаю, он писал ей письма, она тоже писала... По-моему, они решили пожениться.

Тевье

«Они решили»! Нет, ну как вам это понравится?! Да куда ж катится этот мир? Мотл хотя бы пришел и сказал: позвольте, реб Тевье. А здесь уже просто: «они решили»!

Голда

Не кричи. Он же тебе нравился?

Тевье

Он мне нравился как образованный человек. На расстоянии! А зятя я себе как-нибудь и сам найду. И на что они собираются жить? Студент! Будет ее до старости учить французскому, а я платить?

Открылась дверь. Робко вошел Федор с книжками под мышкой.

Федор

Добрый вечер!

Голда

Здравствуй, Федя!

Федор

А Хавы нет?

Голда

Нет. Она пошла в лавку, потом зайдет к сестре... А что?

Федор

Она книжки кое-какие просила. Я принес... Тогда оставлю?

Голда

Оставь.

Федор кладет книжки, направляется к дверям.

Тевье

(строго)

Послушайте, молодой человек, я давно хотел вас спросить: с чего это у вас с нашей Хавой общая читальня? У вас нет своих девушек?

Федор

Я вас не совсем понимаю, Тевель Самуилович...

Тевье

Меня зовут реб Тевье! А вас – Федор Иванович! И это, как говорится, две большие разницы. Мы здесь вместе живем, вместе трудимся, и дай нам всем Бог счастья... Но есть вопросы, где мы – каждый по себе. Вы уже взрослый человек и должны понимать. Когда ваши приходят на нашу свадьбу – ничего хорошего не получается!

Федор

(зло)

Моих там не было, реб Тевье! Мои в погромах не участвуют!

Вышел, хлопнув дверью.

Голда

Как не стыдно, Тевье? Что ты набросился на парня? Они с детства вместе...

Тевье

Тихо!!! Детство кончилось! Я один мужчина в доме, и мне Бог повелел его оберегать!!!

Голда

(устало)

Не кричи. Меня и так всю трясет...

Тевье

(заботливо)

Ну, приляг! Приляг, Голда. Выпей порошки.

Голда

Не смеши, Тевье! Какие порошки для матерей?

Входят Годл и Перчик.

Перчик

Здравствуйте, реб Тевье! Мир вашему дому!

Тевье

(угрюмо)

Спасибо на добром слове, Перчик, рад, что вы нас навестили. Хотя, честно говоря, не очень понимаю, где нашли на это время. Добрые люди об эту пору работают или в университетах учатся, а вы раскатываете по деревням...

Годл

Папа, так гостей не встречают.

Тевье

Не надо учить меня вежливости, дочка. Я обычай знаю. Накрывай стол, ставь еду. А наш дорогой гость пусть сядет и расскажет, что нового. Как дела?

Перчик

Плохи дела, реб Тевье. Судить меня будут.

Тевье

Вот как? Ну что ж. Спасибо за откровенность. Стало быть, вы, сударь, в бегах? Хорошее занятие для образованного человека. Только я одного не смекну: зачем же вы с этой новостью к нам-то пожаловали? Да еще говорите: «мир дому»! Мало этому дому своих бед? Вас же, поди, полиция ищет?

Перчик

Не волнуйтесь, реб Тевье. Уже нашла. Вернее, я ее нашел. Зашел перед вами к уряднику, все рассказал. Раз уж за мою голову награда, так пусть земляку достанется, верно?.. Ну, наш урядник – мужик не злой. Позволил ненадолго зайти к вам, попрощаться. Вот и все новости.

Пауза.

Тевье

(обернулся к Голде)

Ты это знала?

Голда

Какая разница? Знала – не знала. Думай, что делать будем.

Тевье

А что делать? Нам ничего делать не надо. Покормим молодого человека, дадим в дорогу припасов – и все. Адью... Так, кажется, по-французскому. Перчик?

Годл

Я поеду с ним, папа.

Тевье

Стар я уж, дочка. На ухо туговат. Поэтому глупых слов не говори, все равно не слышу.

Годл

Я поеду с ним.

Голда

Куда, девочка?

Годл

Куда угодно. На край света. В Сибирь.

(Бросилась к отцу.)

Папа, он ведь не за себя страдает. За всех нас!

Тевье

Ах, какой благородный человек, сын папиросника. Весь мир решил осчастливить! Богатых отменить... А с чего начинает? Забирает у бедного человека его дочь! От сестер, от дома, от больной матери...

Перчик

Это не совсем так, реб Тевье. Я не хочу, чтоб она ехала.

Годл

Он не хочет, папа. Уговори его. Умоляю!

Тевье

Совсем обезумела! Чтоб я сам уговаривал мою дочь... в Сибирь... Да вы что тут все?.. Да я...

(Неожиданно.)

А почему, собственно, вы не хотите ее брать, молодой человек? Она вам не нравится?!

Перчик

Я люблю ее, реб Тевье. Очень! Именно поэтому не хочу причинять вреда. Там будет трудно. Очень трудно.

Годл

Вдвоем нам не будет трудно. А одна я здесь умру!

Тевье

Типун тебе на язык!

(Повернулся к Голде.)

А ты что молчишь?

Голда

А что говорить? У нее же твой характер – будет она меня слушать! Надо собирать теплые вещи!

(Достала узел.)

Я тут кое-что приготовила...

Годл

Спасибо, мама.

(Обнимает Голду.)

Тевье

(схватился за голову, застонал)

Моя Голда! Самая послушная, самая тихая... О Бог мой... Не сказано ли в Святом Писании...

(Вздрогнул.)

Но они же не повенчаны! Перчик! В Сибири есть раввин?

Перчик

Не может быть, чтоб в Сибири не было раввина! Раввины тоже люди, их тоже должны сажать.

Голда

Конечно, Тевье. Не волнуйся. Их не обидят...

Открылась дверь. Появился Урядник. Нерешительно топчется у порога.

Тевье

Заходите, ваше благородие.

Урядник

Та чего заходить, Тевль?.. Пора ихать... Вы готовы, господин студент?

Перчик

Да, господин урядник!

Голда

Погодите... Не ужинали же. Хоть в дорогу харчей соберу.

Урядник

Та моя жинка там кое-шо накидала... Яйца... Сала... Доидим!

(Тевье.)

Я их, Тевль, прямо до Киева. А то, знаешь, на перекладных, по такой погоде... Померзнут! А у меня и лошадь справная, и овчинку теплую взял...

Тевье

Спасибо, ваше благородие! Спасибо!

Урядник

Да мне тьфу на такое спасибо, Тевль. Без его бы обошелся. Но служба... Ну как, присядем на дорожку или у вас так не положено?

Тевье

Положено.

Все садятся, секундная пауза.

Перчик

Ну все. Пора!

Резко встал, поцеловал Голде руку, подошел к Тевье. Они обнялись.

Не волнуйтесь за дочь, реб Тевье! Все будет хорошо.

Тевье

Да уж куда лучше.

Годл обняла мать, отца, вышла вместе с Перчиком. Урядник пошел за ними, в дверях остановился.

Урядник

Ох, Тевль! Шо-то не то у нас делается. Когда я до тебе буду опять ходить за молоком, а не за слезами?..

Вышел, прикрыл дверь. Слышен звук отъезжающей повозки.

Тевье

(тихо)

Почему ты не плачешь, Голда?

Голда

Канун субботы, Тевье. Плакать в канун субботы – плохая примета.

Тевье

Умница! Будем встречать субботу. Мне пора молиться.

Надевает ермолку, открывает Священную книгу. Входит Хава.

Хава

Куда уехала Годл?

Голда

Потом скажу. Накрывай стол. Встречаем субботу.

Хава

Папа! За что ты обидел Федора?

Тевье

Я молюсь, дочка.

Хава

Нет, скажи, за что?! Федор – добрый и прекрасный парень, что он сделал нам худого?

Тевье

Хава, у меня нет сил сейчас на Федора. Я сказал ему: пусть держится от нас подальше.

Хава

Почему?!

Тевье

Потому что так заведено: есть евреи – есть не евреи...

Хава

А может быть, мы сами делим мир так, как нам удобно?!

Тевье

(сдерживаясь)

Девочка! Сейчас не время это обсуждать. Накрывай стол – встречаем субботу...

Хава

(зло)

Не буду я встречать ВАШУ СУББОТУ!

(Выбежала, хлопнула дверью.)

Тевье

(опешив)

Ты слышала, что она сказала? Слышала?!!

Голда что-то бормочет; раскачивается, обхватив голову руками. Тихо звучит музыка.

Картина третья

Колокольный перезвон. Тихо возникает церковное песнопение. Высвечивается часть сельской православной церкви. Возле алтаря – поп. Робко входит Тевье.

Тевье

Здравствуй, батюшка.

Поп

(приветливо)

А!.. Тевль? Входи. Рад видеть.

Тевье

Спасибо на добром слове... Разговор у меня до вас, батюшка.

(Неуверенно оглянулся на иконы.)

Может, обождать во дворе?

Поп

Зачем?.. На дворе мороз. Здесь и поговорим. В храм Божий путь никому не заказан... Только шапочку-то сними!

(Тевье стаскивает с головы картуз.)

Вот... Молодец! Так какой у тебя до меня разговор?

Тевье

Вы, батюшка, человек мудрый и без моих вопросов, поди, все смекнули. Но, коли просите, скажу: дочь ищу! Говорят, у вас ее видели.

Поп

Видели, видели... Только ты зря беспокоишься, Тевль. Дочь твоя жива, здорова и, не побоюсь сказать, счастлива. Уж не знаю, обрадовал ли я тебя такой вестью?

Тевье

Как не порадовать, батюшка? Счастье детей – счастье родителей. Только меня сомнение берет: так ли счастлива она – вдали от дома, зная, что мать с отцом не спят?

Поп

Что поделаешь, Тевль? Не сказано ли в Писании: «Время разбрасывать камни, время собирать...»? Всему свой срок. Дочь твоя полюбила хорошего человека, он ее тоже любит... Теперь они хотят повенчаться...

Тевье

Еще лучше новость! Вы, батюшка, видно, решили обрадовать меня до конца. Только я опять спрошу: как же венчаться они станут? По какому закону, вашему или нашему?

Поп

По божескому, Тевль. А Бог у нас один. И сказано в Евангелии: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей... И будут два одной плотью. И что Бог сочетал, того человек да не разлучает».

Тевье

Не стану спорить. Только Новому Завету не обучен, зато Старый помним хорошо. И там Моисею завещано: «Если женщина даст обет Господу... а отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты и

зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее...»

Поп

(поморщился)

Тевль, ну что нам с тобой вести богословские споры?.. Новый Завет, Старый... Люди поумнее нас две тысячи лет не могут договориться. Ты ведь знаешь, я евреям не враг и никого насильно в истинную веру обращать не хочу. Но за тебя у меня сердце болит. И я тебе не как духовное лицо, а просто как земляк, как сосед твой скажу... Тевлюшка, друг ты мой! Да посмотрись ты в зеркало! Ну какой ты талмудист? Самый что ни на есть обыкновенный наш, анатовский, мужик. С нами ешь, с нами пьешь... С нами в поте лица крест общий несешь, а признавать его не хочешь!! Ну, не враг ли ты себе?.. Да войди ты в этот храм с чистым сердцем, упади к стопам Спасителя нашего – и кончатся все муки твои и лишения...

Тевье

Ах, батюшка! Говорите вы складно, да сами, поди, не верите в простоту слов своих. Да разве человек сам решает, кто он? Разве не было у него отца с дедом? Разве ему в детстве не сказали, кто он?

Поп

И кто ты?

Тевье

Я, батюшка, русский человек еврейского происхождения иудейской веры... Вот она, моя троица! И ни от чего я не отступлюсь – ни от земли родной, ни от веры предков!.. Вы сказали: Бог один! Это верно! Бог один, да дороги к нему разные...

Поп

Ну что ж... Тевль! Умом я тебя понимаю, а сердцем скорблю. И если сам выбрал дорогу свою, не жалуйся, что на ней ухабы да ямы... Дочь я от тебя не прячу. Сам от нее стеной огораживаешься!

(Открыл боковую дверь.)

Христина! Выйди до нас!

Появилась Хава. Поп что-то шепнул ей на ухо, вышел. Пауза.

Тевье

(опешив)

Как он тебя назвал?

Хава

(бросилась к отцу, упала на колени)

Папа! Выслушай меня! Умоляю!

Тевье

Погоди! Как назвал?

Хава

Ну не отвергай! Выслушай! Христом-Богом заклинаю...

Тевье

Нет у меня такого Бога, девочка. И дочери такой нет. У меня была дочка Хава. Славная дочка была, И любил я ее больше всех на свете...

Хава

И я тебя люблю, папа! И его люблю... Федора. И как мне это соединить? Ну скажи!

Тевье

Это, барышня, не знаю. Это ваша печаль. У меня своих бед хватает... У меня дочь умерла... Мне траур по ней справлять.

(Пошел к выходу.)

Хава

Но ведь это жестоко, папа! Да что же за Бог у тебя, если он велит собственную дочь убивать?

Тевье

(гневно обернулся)

Молчи!!!

(Тихо.)

Оставьте вы меня, барышня... У вас отца нет – у вас батюшка теперь...

Хава

(тихо)

Храни тебя Господь, папа!

(Перекрестила его.)

Зазвучало церковное песнопение. Появился поп в торжественном одеянии. В дверях возник Федор, подошел к плачущей Хаве, взял ее под руку, повел к алтарю. Тевье секунду в отчаянии наблюдал за ними, потом решительно надел шапку и вышел. Песнопение усилилось.

Картина четвертая

Дом Тевье. За занавеской лежит Голда. Входит Степан с охапкой дров.

Степан

Хозяева!.. Э! Есть кто живой?

(Испуганно уронил дрова, бросился к занавеске, открыл ее.)

Голда!!!

Голда

(слабым голосам)

Чего шумишь?

Степан

Живая, тогда не пугай. Дровишек принес. Сейчас протопим, повеселей будет.

Голда

Спасибо тебе, Степан.

Степан

Да чего там... Сосед – что родня, верно говорят. А ты, Голда, того... крепись... не помирай. В такую погоду помирать – одни хлопоты. Земля промерзла... Ты хоть до весны потяни!

Голда

Да мне бы хоть недельку еще. Знаешь, Цейтл у меня на сносях. Кто без меня ребенка примет? Мне бы у нее сидеть. Ноги не ходят.

Степан

Это плохо. Ноги нужны человеку. Но руки-то действуют? Поворожила б сама себе...

Голда

Себе нельзя. Человек другому может передать силу. Себе нельзя.

Степан

Ну давай я попробую... Как ты там шепчешь?

(Водит над ней руками.)

Шурум-бурум... а зохен вей...

Голда

(слабо улыбнулась)

Не морочь голову, Степан!.. Все! Стало легче... Спасибо. Если хочешь, открой буфет – там графинчик.

Степан

Не откажусь!

(Подошел к буфету. Достал графин, рюмки.)

Тебе налить?

Голда

Нет. Не хочу!

Степан

(подносит рюмку)

Выпей! Рюмка – она при любой болезни на пользу.

(Голда берет рюмку.)

Ну! За твое здоровье!

(Выпивает.)

Голда

(стала подносить рюмку ко рту, расплескала)

Нет. Не могу. Не принимает душа.

Степан

(сокрушенно)

Да... Видать, совсем плохо. Тевль-то где?

Голда

За доктором уехал. В такую пургу... Загубит лошадь совсем.

Степан

Ладно лошадь-то жалеть. От бега согреется.

Голда

И коровы орут в сарае... Сколько прошу, Степан, законопатить стены. Ты плотник или кто?

Степан

Ну что – плотник? На все рук не хватает.

Голда

И еще, Степан... Сходил бы ты к Хаве. Узнал, как она.

Степан

Э, нет. Это не проси! Мне Тевль строго-настрого запретил. Она для нас – отрезанный ломоть!

Голда

Сердца у вас нет.

Степан

Нет, он прав. Я тоже выкрестов не люблю. Каждый своей веры держаться должен. Раз ты инородец – терпи!

Голда

Тебе легко советовать...

Степан

Почему легко? Откуда ты знаешь?.. Может, я в молодости на тебе, Голда, жениться хотел. А не стал. Потому что тебя б за меня не отдали, а мне на ваш манер резаться тоже глупо. Вот выходит, что я, как инородец, пострадал...

(Выпивает еще рюмку. Слышен шум подъехавших саней.)

Кажется, приехали...

(Смотрит в окно.)

Точно. Тевль и доктор. Раздетый. Торопились, видать...

Входят Тевье и Менахем. Отряхивают снег.

Тевье

Не поехал, бисов сын! В ногах валялся у него. Господом Богом молил... Нет! Потеплеет, говорит, тогда приеду... Нужен он мне, когда потеплеет!.. Зато нет худа без добра... Ехал через Касриловку – встретил Менахема. А у него, оказывается, новейшие лекарства. Из Америки.

Менахем

Добрый вечер, мадам Голда. Я, конечно, не специалист, но, если это инфлюэнца, как мне сказал реб Тевье...

Тевье

Это доктор говорил.

Менахем

Главное, чтоб вы повторяли правильно. Так вот, если это инфлюэнца, то лекарство действительно чудо. Их прислали из Америки моей теще Хане-Мириам, упокой Бог ее душу.

Голда

Она от них померла?!

Менахем

Язычок у вас, Голда, слава богу, еще ворочается в нужном направлении. Это хорошо! Но за таблетки я гарантирую. Посмотрите на коробочку. В такую коробочку дерьмо не кладут. Здесь написано: они быстродействующие. Просто не рассчитаны на нашу почту. Пока дошли до больного – адресат выбыл... Но моя мама пьет их с чаем – и, слава богу, ничего... А у моей мамы возраст, когда уже и чай вреден...

Голда

Спасибо, Менахем! Я всегда знала – у тебя доброе сердце. Поешь!

(Мужу.)

Тевье, там, в печи, горшок с молочным борщом. Угости Менахема.

Менахем

Спасибо. Я не за этим приехал... Я по-родственному... Голда, может быть, все-таки поедем в Бердичев?.. В больницу? Там у меня кое-какие связи...

Голда

Не морочь голову! Куда ехать, если уже не можешь ходить. Ешь!

(Тевье ставит перед Менахемом горшок, тот жадно начинает хлебать.)

А ты, Тевье, сходил бы со Степаном в сарай. Коровы ревут, неужели не слышишь?

Тевье

Это ветер.

Голда

Ветер таким жалобным не бывает. Ветру не холодно.

Степан

Пошли, Тевль! Поговорить им надо...

Голда

Умница, Степан. Я всегда тебя держала за догадливого.

Тевье и Степан уходят.

Менахем

Борщ у вас, Голда, всегда что-то отдельное. Я давно хотел вам предложить: не открыть ли нам на паях в городе еврейскую столовую? Вы станете у плиты, Тевье – у кассы, я беру на себя рекламу. У меня завидный аппетит! Когда я ем, у наблюдающих текут слюнки...

Голда

Не встать мне уже у плиты, Менахем.

Менахем

Голда, это не разговор. Я, конечно, не специалист по инфлюэнце, но эти таблетки...

Голда

Молчи, Менахем! Ешь и молчи! Будем считать, ты меня утешил. Теперь слушай. Пора браться за ум... Бери маму, перебирайся в деревню. Поближе к родне... Займись делом. Трех старших дочерей ты мне не сосватал, но двух младших, Бейлке и Шпринцу, я тебе завещаю. Найди им достойных! Таких, чтоб моя душа на том свете наконец порадовалась...

Менахем

Я, вообще-то, это дело бросил, Голда, но для вас постараюсь. У меня как раз есть на примете пара гимназистов...

Голда

Не надо гимназистов. Смотри в хедере. Ищи деревенских... Тихих, работящих... И еще! Через год-другой подыщи кого-нибудь для Тевье...

Менахем

Голда, я вас умоляю...

Голда

Молчи! Я так хочу! Тевье тоже будет крутить носом, но ты скажи: такова воля Голды! Дети уйдут – кто ему ужин готовить будет? Он же сам как дитя... Найди скромную, молчаливую... Тевье не любит, когда его перебивают. И чтоб молочный борщ готовила... Я тебя не зря угощаю – хочу, чтоб ты вкус запомнил.

Менахем

Не рвите душу, Голда...

(Зашмыгал носом.)

Вообще, я вам завидую. Ваше поколение как-то умеет умирать. Мы уже не то. Сгораем, как мотыльки на свечке...

Распахнулась дверь. Вбежал взволнованный Мотл.

Мотл

Мама! У Цейтл началось... Мама, что делать?! Она так кричит!..

Голда

Тихо, Мотл, успокойся... При родах всегда кричат, так легче! Менахем, беги за Тевье! Быстро!

(Менахем выскакивает из дома.)

Все будет хорошо, Мотл. Все будет хорошо. Цейтл – моя дочь, она справится... Ты только согрей воду. И возьми там, в углу, узелок... Пеленки, марля... Я все приготовила! Главное – сам держись. Не падай в обморок! Ей сейчас некогда тобой заниматься...

Вбегают Тевье и Менахем.

Тевье

Голда, что делать? Куда ее везти?

Голда

Куда везти по такой погоде? Пойдешь к ней! Все сделаешь сам.

Тевье

Голда-сердце, я не сумею!

Голда

Сумеешь, Тевье, сумеешь... Это несложно. Сколько раз мы с тобой телят принимали. У людей все так же. Живое одинаково рождается. А я вам буду помогать отсюда. Скажи Цейтл, я помогаю! Пусть вслушивается!.. Ну? Бегите же... И ты, Менахем! Бегите!

Менахем

Мадам Голда, я бы остался. Я в этих делах не специалист!

Голда

Все уходите! Мне одной надо побыть. Ну?!

Мужчины поспешно выходят. Голда что-то бормочет, потом делает усилие, садится на кровати, простирает руки.

Ну, давай, девочка моя, соберись! Это не страшно! Я пять раз такую штуку проделывала, и ничего... Сожмись, сожмись! Стисни зубы! Так Бог повелел – в муках рождаться!.. Вот! Молодец!.. Еще!.. Стоп!.. Теперь отдохни. Переведи дух! Вспомни что-нибудь приятное. Дом наш вспомни. Речку. Помнишь, купались по ночам?.. Вода теплая. И луна дорожку постелила. Входи в нее, входи... Хорошо плыть, верно? Плыви, плыви, дочка... А теперь ныряй! Набери полную грудь воздуха – и ныряй!.. Вот!.. Глубже! Глубже! А теперь – вверх! Сразу! Пошла!! Еще, еще!.. И ты, внученька, давай, выплывай!.. Ты ведь девочка, я чувствую... Давай, Голда! Тебя Голдой назовут! Голда – имя счастливое, золотое имечко... Ну?!. Давайте, девочки!.. Всплываем!.. Еще! Еще!.. Господь милосердный, да помоги же им! Возьми мою душу, передай!.. Ну?!!

(Вскрикнула, опустила голову.)

Ну вот!.. Спасибо... Все хорошо... Теперь отдыхать. Отдыхать...

Тихо опускает голову на подушку. Появляется Степан, секунду печально смотрит на Голду, потом подходит, задергивает занавеску, молча садится рядом.

Темнеет. Возникает печальная мелодия, и голос кантора начинает петь поминальную молитву...

Картина пятая

Яркий свет. Двор дома Тевье. У забора – высокое дерево. На крыльце появляется Тевье с внучкой на руках.

Тевье

Ну что, Голда, вот и потеплело! Первая весна в твоей жизни. Смотри!

(Поднял девочку.)

Запоминай!.. Там, наверху, – небо. Там Бог живет. Внизу – земля. Здесь мы живем. Вон то большое дерево называется дуб. Его мой отец посадил, когда я родился. Старенький уже, но ничего, стоит, забор подпирает. А рядом я посажу березку. В твою честь. Вот только снег сойдет, земля растает, и посажу... Будете вместе расти, наперегонки. Ну, чего еще?.. Вон поле. Там летом цветы растут... И когда-нибудь оттуда придет наш Мессия. Мне его не застать, а ты вполне можешь увидеть...

Хлопнула калитка. Во дворе появился Урядник.

Урядник

(угрюмо)

Здорово, Тевль!

Тевье

Здравствуйте, ваше благородие.

(Внучке тихо.)

Вот так всегда: ждешь Мессию – приходит Урядник. Запомни.

Урядник

Внучка, что ль, твоя? Ну-ка, дай глянуть... Хороша!.. Снеси ее в дом. Поговорить нам треба...

Тевье

Неужто такой разговор, что и девочка поймет?

Урядник

Выпил я, Тевль. Видишь? Крепко выпил.

Тевье

Это ничего, ваше благородие. Раньше с радости пили.

Урядник

То раньше, Тевль. Теперь другая закусь... Скажи, друже, сколько тебе понадобится дней, чтоб продать дом и барахлишко?

Тевье

Не понял, ваше благородие. Я молочник и домами не торгую. Вы, видать, и вправду крепко выпили.

Урядник

Я выпил, шоб на глупости не отвлекаться. Говори: три дня хватит? Или пять?.. Выселяют вас с деревни...

Тевье

Кто?

Урядник

Не я же. Губерния...

(Заорал.)

Да убери ты дите! Уронишь!

Тевье

Ничего, ваше благородие. Я мужик крепкий.

Урядник

Ну убери, как человека прошу. Не злодей же я, шоб такие вещи говорить и на дите смотреть.

Тевье

(в сторону дома)

Цейтл!

Появились Цейтл и Мотл.

Цейтл, возьми девочку...

(Передает ребенка.)

А ты, Мотл, останься.

(Уряднику.)

Его, поди, тоже касается?

Урядник

Всех касается...

(Цейтл с ребенком поспешно скрывается в доме.)

В общем, вот...

(Достал из кармана бумагу.)

Пришло до нас предписание. Читай!

Тевье

Нет, уж вы сами, ваше благородие. На ней герб.

Урядник

То-то и оно... Орел о двух головах. Тут не поспоришь.

(Читает.)

«...Дополнение уложения о расселении еврейской части населения, согласно постановлению о правилах проживания...»

Тевье

Погоди, ваше благородие. Не барабань по голове! Объясни по-людски... Чего? Кого?

Урядник

Вас! Выселяют из деревень.

Тевье

Куда?

Урядник

За черту оседлости.

Тевье

А мы где?

Урядник

А мы теперь – с другой стороны... И наша Анатовка, и хутор Махеповка, и Касриловка... Все теперь за чертой!

Во дворе появляются взволнованные Ребе, Лейзер и еще несколько евреев.

Ребе

Здравствуйте, ваше благородие.

Урядник

(недовольно)

Погоди, мужики. По домам! Я к каждому зайду.

Лейзер

Да разве усидишь, ваше благородие? Это ж деревня. Дурные вести через забор прыгают... Объясните, в чем дело? Тевье, скажи понятно...

Тевье

Что тебе непонятно, Лейзер? Все так просто. Вот пришел господин урядник сообщить мне, что я, оказывается, жил здесь неправильно. И деды мои, и прадеды... Все здесь неправильно в могилах лежат. Потому что есть черта! Прочеркнул господин урядник по земле сабелькой и сказал: вот тут живи, а тут – не моги!

Урядник

Не дело говоришь, Тевель! Зря народ баламутишь... Губерния так порешила, не я... Да у меня приказ: всех вас – в двадцать четыре часа! А я по-людски хочу... Трое суток даю, шоб успели с хозяйством разделаться...

Лейзер

Как – трое суток? Как можно продать лавку за трое суток?

Один из евреев

А дом? А огород?

Мотл

Никуда мы не пойдем! Надо защищаться!! Око за око! Будем драться!

Все зашумели.

Урядник

Тихо! С кем надумали драться? С армией? Армию голыми руками не возьмешь...

Тевье

Почему, ваше благородие? Мы бедные, да не голые... Найдется в хозяйстве кое-что...

(Нагнулся к крыльцу, достал топор.)

Урядник

(мрачно)

Брось, Тевль! Не дури!

Тевье

Ваше благородие, я вас всегда держал за неглупого человека. Дайте совет!.. Вот дуб растет. Его отец сажал, я растил... Как его с собой взять? Корни не выкопать, да и не приживется он на новом месте... Что остается? Рубить?

Урядник

Не знаю, Тевль. Хошь – руби, хошь – не руби! Мое дело сторона!

Тевье

(зло)

Э, нет, господин урядник! Вы тут власть! И не ждите сочувствия. Хоть бочку горилки выпей – совесть не зальешь! Поэтому смотрите! Я сейчас срублю этот дуб, чтоб вы всегда потом могли прийти сюда, посидеть на пеньке, отдохнуть от дел праведных!

Решительно шагнул к дереву, вонзил в него топор.

Ребе

Грех, Тевье! Бог накажет за грехи!

Тевье

Меня? Накажет?! Да разве остались у Него наказания, которые еще не выпали на мою голову?! Все отняли: жену, дочерей, дом, а теперь и землю... Зачем жить дереву, если нет у него листьев и ветвей?! Скажите, ребе? Не знаете? И я не знаю! Боюсь, что и Он не знает. И незачем дереву жить!

Решительно ударяет по стволу, ручка топора ломается. Тевье в отчаянии отбрасывает топор, садится на землю.

Урядник

(поднял обломок топорища)

Топорище-то... гнилое...

(Всем.)

Эх, мужики, нашли чего жалеть... Да много ль она дала вам, наша деревня? Земли вершок да пустой горшок!.. Да вам куда ни сошли – хуже не будет. Так что прощайте! И зла на сердце не держите! Налегке – оно легче уходить...

Ушел.

Мотл

А вообще, он прав... Зачем три дня? Что нам собирать три дня?

Первый еврей

Вам просто, Мотл. А у реб Лейзера – лавка.

Лейзер

Что это за лавка при таких покупателях? Смех, а не лавка.

Второй еврей

Тоже верно. И что это, прости господи, за деревня – Анатовка? Ее даже на картах не пишут, потому что название длинней, чем территория.

Мотл

Но мы здесь родились.

Второй еврей

И что? Зачем? Я вообще не знаю, для бедного человека лучше рождаться на белый свет или нет? Как думаете, ребе?

Ребе

Лучше не рождаться. Но не каждому так везет...

Первый еврей

Ну вот, ребе сказал мудрое слово. А теперь скажите: куда идти?

Ребе

Когда Бог сказал праотцу нашему Аврааму: «Изыди из страны своей», разве тот спрашивал... куда?

Второй еврей

Значит, на все четыре стороны... Понятно. А вы что скажете, реб Тевье?

Тевье

Ничего не скажу. Все слова сказаны. Прощаться будем молча.

Садится спиной к дереву, надвигает глубоко картуз, прикрывает глаза. Все тоже опускают голову. Тихо зазвучала музыка. Мотл запел песню об Анатовке. Ее негромко подхватывают остальные.

Картина шестая

Двор перед домом Тевье. Степан заколачивает окна досками. Появляется Федор.

Федор

Здравствуйте, дядя Степан.

Степан

(неприветливо)

Здорово!

Федор

А где хозяин?

Степан

Тута.

Федор

(оглядев двор)

Где?

Степан

Кто?

Федор

Тевль.

Степан

Тевль на кладбище пошел. С дочками.

Федор

А говорите «тута».

Степан

Ты ж про хозяина спрашивал...

(Угрюмо стучит молотком.)

Федор

(растерянно)

Вы чего? Дом купили?..

(Степан не отвечает.)

Зачем вам второй дом?

Степан

Пригодится.

Федор

И сколько заплатили?

Степан

Как сговорились, так и платил... Тебе-то чего? Сам прицениваешься?

Федор

Да нет. Я на чужую беду не покупщик.

Степан

(с угрозой)

Поговори у меня! «Не покупщик». Сперва дом разорят, а потом жалеют... И вообще, парень, шел бы ты отсюда. Не до тебя.

Федор

Мне надо поговорить с Тевлем.

Степан

Не будет он с тобой говорить.

Федор

Вы-то откуда знаете?

Степан

Ни с кем не говорит. Зарок дал... Понимаешь?

Федор

Не понимаю.

(Повернулся к калитке.)

Хава!

Робко вошла Хава с узелком.

Степан

А с ней и подавно...

Хава

Здравствуйте, дядя Степан.

Степан

Зря пришли, ребятки! Молчит Тевье! Вторые сутки молчит. Обет такой дал. Все равно, говорит, Бог наших слов не слышит. И замолк. Вот такие у нас проводы...

Хава

Все равно. Мы подождем...

Степан

Ваше дело...

(Угрюмо стучит молотком.)

Федор

Зачем окна-то заколачиваете, раз купили?

Степан

А я люблю в темноте сидеть...

(Бросил молоток.)

Ну, шли бы лучше на станцию. К поезду. У поезда оно проще прощаться...

Хава

Мы не прощаться, дядя Степан. Мы хотим с ними ехать.

Степан

Да они сами неизвестно где жить будут.

Федор

Значит, и мы там же... Рядом.

Степан

Ну, с вами не соскучишься... Тогда вот что. Сховайтесь пока в доме... Подготовить старика надо. Сердце-то не железное...

Федор и Хава проходят в дом.

Появляются Тевье, Цейтл и младшие дочери. Тевье молча выкатывает телегу, начинает складывать на нее вещи. Цейтл печально смотрит на дом.

Степан

Вот... Законопатил... Слышь, Тевль? И топить не надо. Может, когда вернетесь, будет тепло...

Тевье угрюмо молчит.

Цейтл

Спасибо, дядя Степан. Вы тут и за могилкой поглядывайте, ладно?

Степан

Ну а как же?.. Что я, Голду брошу, что ль? Пока живой, я с ней... Да и потом... Я так понимаю, Тевль, люди только здесь, на этом свете, по разным кладбищам разбегаются. А ТАМ все вместе будем? Верно, Тевль?

Тевье молчит.

По глупости люди друг друга сторонятся... Голда это понимала.

Тевье молчит.

Цейтл

(сестрам)

Шпринца, Бейлке, пошли. Помоем пол.

Степан

Да ладно... Что мы, без вас не вымоем?

Цейтл

Нет. Мы сами. Пол надо оставлять чистым... Таков обычай... Верно, папа?

Тевье молчит. Цейтл направляется к дому, Степан останавливает ее, отводит в сторону.

Степан

Там гости у вас, Цейтл.

(Шепчет ей на ухо.)

...Без меня пусть не выходят... Он и молча проклянет, это еще хуже...

Цейтл и девочки проходят в дом. Степан подходит к Тевье, достает из кармана деньги.

Я остатнюю живность распродал... И курей, и коня... За коня, правда, мало дали. Извозчик нос воротит. Пошел к водовозу, он тоже брыкается... «Рази, – говорит, – это лошадь? У нее и зубов уже нет!» Я говорю: «Дурак... Это ж хорошо... Без зубов кормить проще...» Только этим и уговорил...

Тевье берет деньги, печально смотрит в сторону сарая.

Да он там еще... Я водовозу сказал: завтра заберешь, дай людям попрощаться...

Тевье проходит в сарай. Степан закрывает за ним дверь.

Ну вот... Смирись, Тевль, смирись... Хоть с конем-то поговори! Это Бог простит...

Быстро уходит со двора. Некоторое время двор пуст. Затем появляется Лейзер с чемоданами. Подходит к дому, стучит в дверь. Выходит Цейтл.

Цейтл

Здравствуйте, реб Лейзер.

Лейзер

Добрый день, Цейтл. Хотя какой он добрый? Говорим по привычке... В общем, пришел прощаться.

Цейтл

Я позову отца...

Лейзер

Не надо... Он молчит. Я не люблю молча... Я человек простой. Люблю доброе слово услышать... Я с вами, Цейтл! Вот... В общем, уезжаю в Америку.

Цейтл

Счастливого пути, Лейзер. Желаю удачи.

Лейзер

Есть такой город... Нью-Йорк... Большой. Даже больше Киева. Слышали?

Цейтл

Слышала. Говорят, там хорошо.

Лейзер

Хорошо, Цейтл, где нас нет. А поскольку мы теперь везде – где хорошо?.. Вы-то куда?

Цейтл

В Бердичев. К родне.

Лейзер

Кто там у вас?

Цейтл

Менахем... Мама его...

Лейзер

(иронично)

Та еще родня... С такой родней хорошо переписываться, и то по большим праздникам...

(Полез в карман, достал бумажник.)

Цейтл

Не надо, реб Лейзер.

Лейзер

Цейтл, я человек простой! Не люблю этих цирлих-манирлих. Я не милостыню даю и не в долг. Я корову хочу купить. Бурую. Мы с Тевье сговаривались...

Цейтл

Ее уже продали...

Лейзер

Все равно. Купите другую... Для меня. Мне будет приятно знать в Америке, что здесь пасется моя бурая... Не обижайте, прошу!

Цейтл

(берет деньги)

Спасибо.

Лейзер

И еще, Цейтл... Возьмите мою фотку. На память!.. Здесь стихи. Хорошие. Не я сочинил, но... хорошие...

Цейтл

Спасибо, реб Лейзер.

(Берет фотографию.)

Можно я вас поцелую на прощанье?

Лейзер

Если не противно – почему нет?

Цейтл целует Лейзера в щеку. Во дворе появляется Мотл, вкатывает тележку, груженную разной утварью. С удивлением смотрит на Цейтл и Лейзера.

Мотл

Здравствуйте, реб Лейзер.

Лейзер

Здравствуйте, Мотл. Ты не подумай чего дурного.

Мотл

Я и не думаю... Целуйтесь на здоровье.

Лейзер

Нахал! Не обижай стариков... Мы еще ого-го!.. В Америку еду. Знаешь, где это?

Мотл

Далеко.

Лейзер

(со вздохом)

На другой стороне земли. Лучше бы ехать после смерти. Все-таки на два метра путь короче. Но что поделаешь?.. Гуд бай!

Цейтл

Гуд бай, реб Лейзер.

Лейзер

Эх! Холера на их голову! Кому это нужно, чтоб Лейзер из Анатовки говорил «гуд бай»?..

Уходит. Цейтл печально смотрит ему вслед.

Мотл

Не смотри так долго...

Цейтл

Ты ревнуешь?

Мотл

Если тебе это приятно, то – да. Но вообще нет времени. В четыре – поезд.

Цейтл

А сейчас сколько?

Мотл

(снимает с повозки настенные ходики)

Три. Знаешь, Цейтл, я их укрепил, они ходят. Даже кукушка выскакивала. Смешно. Иду по деревне, а она кукует.

Цейтл

Положи их, Мотл. Не дразни людей.

Мотл

Нет. Пусть идут... Мы пойдем, и они пусть идут...

Во двор входит Степан, таща за рукав скрипача Йоселе.

Степан

Йоселе, ну будь человеком... Успеешь уехать. Сыграй людям на прощанье... Отца с дочерью надо помирить. Это ж святое дело...

(Цейтл.)

Зови Хаву.

Цейтл

Что вы придумали, дядя Степан?

Степан

Зови, тебе говорят.

Цейтл исчезает в доме и через секунду появляется вместе с Хавой и Федором. Степан подходит к сараю, прислушивается, затем смотрит в щелку.

Вроде чего-то говорит...

Цейтл

Кто?

Степан

Ну не конь же...

(Тихо открывает засов.)

Давай, Хава. Входи. Если не сейчас, то уж никогда...

Хава нерешительно заходит в сарай. Все собираются у двери, прислушиваются.

Мотл

Ну что?

Степан

Крика нет, уже хорошо... Играй, Йоселе... Играй, родной. Играй так, чтоб душу порвать...

Йоселе начинает выводить мелодию.

Вот! Еще!.. Запузыривай, милый... А теперь ты входи, Федя. Входи! Не боись!

(Федор заходит в сарай.)

А теперь остальные... Семьей собирайтесь, семьей...

(Мотл и Цейтл проходят в сарай. Скрипач играет.)

...Ну вот... Обнялись... Ревут! Все по-человечески...

(Утирает слезы.)

Что я, не знаю, как с евреями поступать? Эх... *(Не выдержав, сам уходит в сарай.)*

Скрипач продолжает увлеченно играть. Слышен звук подъехавшей телеги. Во дворе появляется Менахем с чемоданом, за ним тяжело передвигается Мама.

Менахем

О, мама! Смотрите! Нас встречают с музыкой! Что я вам говорил?

Мама

Разве сегодня праздник?

Менахем

Это деревня, мама... Здесь всегда праздник. Чувствуете воздух? Сплошной кислород... Вдыхайте, мама, вдыхайте.

Мама

Меня в поезде так трясет...

Менахем

Мама, мы не в поезде... Мы приехали. Сориентируйтесь, мама...

Из сарая выходит Степан, изумленно смотрит на Менахема и Маму.

Здравствуй, Степан!

Степан издает какой-то неопределенный звук.

Вот, приехали погостить... Город, знаешь, он выматывает... Хочется до природы... И врачи рекомендуют. Особенно маме...

Степан вновь издает неопределенный звук, исчезает в сарае.

Мама

Кто это?

Менахем

Степан.

Мама

Редкое имя.

Менахем

Здесь не редкое. Это деревня. Сориентируетесь, мама...

Из сарая гурьбой вываливаются Тевье, Степан, Мотл, Цейтл, Федор, Хава. Все тупо смотрят на Менахема и Маму. Скрипач испуганно замолкает.

Менахем

Здравствуйте, реб Тевье! Как говорится: а вот и мы!

(Пауза.)

Реб Тевье, у меня такое ощущение, что вы нам не до конца рады. Вы получили мою телеграмму?

Мотл

Получили...

Менахем

Ну?

Мотл

Что значит «ну»? Вот она, ваша телеграмма.

(Достает из кармана бумажку.)

«ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОЖИТЬ МЕНАХЕМ С МАМОЙ».

Менахем

Не «приезжай-те», Мотл, а «приезжа-ем»!

Мотл

Здесь... «те».

Менахем

Я не знаю, что здесь, я знаю, что писал... И потом, я получил же от вас ответ.

(Достает телеграмму.)

«Спасибо! Век не забудем! Семья Тевье». Вы это посылали?

Мотл

Ну...

Менахем

Что «ну»?

Мотл

Менахем, вы нормальный или нет? За что написано «спасибо»?

Менахем

Как за что? Я думал, за то, что приезжаем...

(Пауза.)

Тевье

(не выдержав, поднял руки к небу)

Господи милосердный, и Ты хочешь, чтоб я молчал?

Смеется. За ним начинают смеяться остальные. Начинается какой-то нервный смех, перемежаемый всхлипываниями.

Степан

Ну, народ... С вами не соскучишься...

Мама

(она одна плохо понимает происходящее)

Меня в поезде так трясет...

(Это вызывает очередной взрыв смеха.)

Почему смех? Тевье, почему смех?

Тевье

(утирая глаза)

А что нам еще остается в этой жизни, Берта? Что еще? Играй, Йоселе...

Все смеются и плачут. Скрипач начинает играть. Медленно опускается

Занавес

Скрытой камерой[78]. Монолог продавца

В понедельник вечером собирает нас, продавцов, директор магазина и говорит:

– Товарищи, завтра вас будут снимать скрытой камерой. Ну, мы, конечно, обрадовались и спрашиваем:

– А что это такое? Директор объясняет:

– Это такой новый метод киносъемки, когда тебя снимают, а ты про это не знаешь. И, значит, ведешь себя непринужденно. Зачем это будет делаться – не объяснили: может, в «Новости дня» вставят, а может, в кинофильм какой-нибудь. И вообще товарищ, который со студии звонил, просил вам ничего не говорить. Так что делайте вид, что вы не в курсе! Понятно?

А чего ж здесь не понимать? Все ясно! Мы магазин убрали, все почистили, витрины приукрасили… В винный отдел коньяк со склада принесли, в рыбный – окуня свежемороженого. У себя в мясном отделе я плакат повесил: «Бык в разрезе». В общем, приготовились!

Вечером я постригся, помылся и жене сказал:

– Ты мне на утро рубашку белую приготовь и галстук в полосочку – нас скрытой камерой фотографировать будут.

На другой день приходим все разодетые, как на праздник. Продавцы – в галстучках, Продавщицы – в кофточках, в блузочках, кассирша Зина французскими духами надушилась, хотя это уже совершенная глупость, потому как в кино не пахнет.

Все улыбаются, говорят вежливо, на покупателей смотрят, как на родственников. Только и слышно: «Пожалуйста!», «Будьте добры!», «Разрешите, я вам заверну» – и всякая такая ерунда…

Покупатели смотрят на нас, как на полоумных, ничего понять не могут. Но тут кассирша Зина высунулась из кассы и шепчет очереди:

– Не толкайтесь, товарищи! И вообще ведите себя прилично – нас скрытой камерой

[78] *Григорий Горин «Дом, который построил Свифт», серия «Смех – Не Грех»»: «ДОВИРА»; Киев; 1995*

снимают для кино.

Покупатели сразу поняли, что к чему, притихли, подобрели, друг другу место уступают. Всех алкоголиков от винного отдела как ветром сдуло, осталось только человек пять-шесть: стоят чинно, томатный сок пьют, разговаривают про международные события…

В общем, до обеда мы проработали в такой исключительно нервозной обстановке. Но тут вдруг вбегает директор и говорит:

– Товарищи! Не волнуйтесь! Звонили со студии: сейчас съемки нет, только после обеда будут снимать скрытой камерой!

Ну, мы дух перевели, покупателей быстренько всех повыгоняли, магазин заново убрали, в овощной отдел апельсинов подбросили, в колбасный – колбасу докторскую, в рыбный – плакатов! Короче, приготовились, ждем…

Только после обеда к нам набилось ужасное количество народу. Слух про скрытую камеру в момент разнесся и каждый под это дело хочет что-то купить и получить вежливое обслуживание. Некоторые покупатели совершенно распоясались.

Одна пожилая дамочка совсем обнаглела и говорит мне:

– Товарищ продавец, что бы вы могли мне порекомендовать для бульона?

Я про себя думаю: «В другое время я б тебе порекомендовал, халда ты эдакая!» Но теперь этого сказать не могу, а, наоборот, делаю такое задумчивое лицо для скрытой камеры и говорю:

– Я вам рекомендую, гражданка, этот кусок с косточкой. В ней много липоидов и аминокислот!

В общем, цирк, да и только!

А к концу рабочего дня вбегает директор и кричит:

– Звонили со студии, сегодня съемки не было, завтра со скрытой камерой прибудут!

Назавтра опять нервотрепка!

Опять все вырядились, опять работаем как угорелые, сплошной сервис, сплошное «будьтедобрыпожалуйста!», а вечером – новый звонок со студии:

– Сегодня скрытой камеры не было – завтра будет!

Тут уж нервы у нас стали сдавать. Многие валидол принимали, с кассиршей Зиной нервный припадок случился, она весь день улыбалась как ненормальная, и у нее на лице какой-то сустав замкнулся…

Короче, промучились мы так пять дней, а когда на шестой день опять со студии позвонили и сказали, что съемка переносится, – сомнение взяло: не валяет ли кто с нами дурака?

Директор в милицию позвонил, а оттуда дежурный говорит:

– Не волнуйтесь, товарищи, никакой скрытой камеры нет! Какая-то шайка терроризирует все торговые и бытовые учреждения нашего района. Они и над универмагом так измывались, и над женским ателье, и над химчисткой, и столовую до того довели, что там на столики розы поставили и семгу вместо селедки подают!

Ну, мы все вздохнули облегченно! Как гора с плеч! И возмущались, конечно! Разве можно позволять себе такие глупые шутки? А кассирша Зина сказала:

– Когда этих хулиганов поймают, я первая свидетельницей в суд пойду, чтоб строже их покарали! И потом я ради этой скрытой камеры у частника зубы новые вставила – пускай они мне их оплатят!

Александр Цыпкин

Справочный материал

Александр Цыпкин просит не называть себя писателем. Пусть тогда будет так: пиарщик, неожиданно ставший автором бестселлера "Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории". Рассказы Цыпкина со сцены читают Константин Хабенский, Николай Фоменко и Данила Козловский. Самое главное, что Александр даже не дал нам договорить о роли души компании - "Я понимаю, кто это. И я это умею. Мне интересно. Куда едем? "

Цыпкин Александр Евгеньевич - эксперт по стратегическому PR, публицист и автор более сотни интервью с политиками, деятелями культуры, науки и спорта, среди которых Михаил Горбачев, Борис Гребенщиков, Константин Хабенский и другие. В июле 2015 года издает первую книгу - сборник сатирических рассказов «Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории», которая за один месяц стала бестселлером.

Александр Цыпкин родился в 1975 году в семье врачей в нескольких поколениях. Окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Сегодня является экспертом по стратегическому PR, а также постоянным спикером крупнейших профессиональных форумов и конференций. В течение нескольких лет занимал должность PR-директора СЗФ «МегаФон». В 2014 году переехал в Москву и занялся проектами в области информационной политики в условиях корпоративных конфликтов. Лауреат многих профессиональных премий, в том числе Proba-IPRA Golden World Awards.

Александр Цыпкин - публицист, автор более ста интервью с политиками, деятелями культуры, науки и спорта, среди которых Михаил Горбачев, Борис Гребенщиков, Орнелла Мути, Михаил Жванецкий, Константин Хабенский и другие. В июле 2015 года издательство АСТ выпустило первую книгу Александра Цыпкина - сборник сатирических рассказов "Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории", которая за месяц стала бестселлером и заняла первое место в рейтинге русской прозы сети книжных магазинов "Москва". В марте 2016 года в Париже презентовали издание книги "Женщины непреклонного возраста" на французском языке. В феврале 2016 года вышла видеоверсия сценического чтения повести "Томатный сок" Данилой Козловским. В течение недели видео набрало один миллион просмотров на facebook. Выпущенная в этом же месяце аудиокнига, озвученная голосами Данилы Козловского, Павла Деревянко и многих других актеров кино, телеведущих и самого автора, за две недели становится лидером продаж на ресурсе Litres. Рассказы Александра Цыпкина неоднократно читались со сцены, в том числе в рамках проекта "Ночь искусств – 2015" и на книжном фестивале на Красной площади.

Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы[79]

Комедии секс-положений

Свадебное насилие

«Цыпкин, мне конец. Я ночью ударил Катю, но не очень помню, за что и как, хотя это уже не важно. Она плачет и говорит, что не может выйти из номера с подбитым глазом. Ее папа меня убьет, ты же его видел».

Вот такой звонок я получил из гостиничного номера, в котором мой друг проводил свою брачную ночь. Утро после свадьбы и так-то тяжелое испытание, а тут вообще кошмар. Но обо всем по порядку.

Гена жениться не собирался, ни на Кате, ни в принципе.

Он был из интеллигентной петербургской семьи. Все ученые, некоторые указаны в энциклопедии. Бабушка, разумеется, еврейка. Небогатые.

Катя приехала в Петербург из Рязани. В семье все военные, даже домашние животные. Папа, разумеется, бывший десантник. Богатые.

Гена увидел фотографию папы утром после, так сказать, незащищенного соития и сразу все понял. Бабушка учила Гену смотреть в родословную до первого свидания, так как никогда не знаешь, чем оно может закончиться, но Гена бабушку не слушал.

В итоге Катя вдруг стала беременна. Девушке повезло с семьей отца ребенка, они были люди глубоко порядочные, поэтому жениться Гену обязали, правда вот Катю в полноценные родственники приняли не сразу. Эта дихотомия, кстати, довела до развода не одну разноклассовую пару, так как ощущать себя женщиной второго сорта, которая неожиданно свалилась на обожаемого сына или внука, удовольствие сомнительное, особенно если из зоопарка тебя вроде бы выпустили, но относятся все равно как к говорящей барсучихе. А если еще есть различия и в материальном статусе и представители интеллигенции значительно беднее, то положение девушки иногда становится совершенно невыносимым. Она виновата и в том, что недостаточно изысканна, и в том, что слишком богата.

Но все это были возможные детали будущего. В настоящем нужно было решать вопрос со свадьбой. При подсчете количества гостей выяснилось, что силы совершенно неравны. Интеллигенция выставила на поле двенадцать человек, в основном травмированных и с низкой мотивацией. Пролетариат с купечеством аж пятьдесят девять, собранных со всей страны, из которых двадцати четырех Катя никогда не видела, а двадцати трех никогда не хотела бы видеть. Все они рвались в бой, точнее в Петербург на свадьбу «нашей Катеньки» с человеком, чей прадедушка упомянут в Большой советской энциклопедии. Практически же «говорящая собачка», надо же посмотреть, потрогать, не говоря уже о проверке его на прочность, о которой

---

79 https://royallib.com/book/tsipkin_aleksandr/genshchini_nepreklonnogo_vozrasta_idrbesprintsipnie_rasskazi.html

мечтали друзья отца по ВДВ. Родственники Гены, как понятно, никого вообще не хотели видеть и особенно слышать.

Расходы на этот товарищеский матч взяла на себя команда гостей.

Свадьбу можно описать одним словом: похороны. Это слово отображало выражение лиц команды жениха, самого жениха и невесты. Также хотелось похоронить ведущего, музыкантов и поваров. О самом поводе забыли так же быстро, как забывают на поминках о покойнике, когда в траурный день начинаются чуть ли не пьяные танцы гостей с разных сторон усопшего. Через два часа после начала матча судья утратил контроль над игрой и был удален с поля. Началась русская свадьба, бессмысленная и бессмысленная.

Дядя невесты, прибывший из Ростова-на-Дону, начал пить еще в Ростове-на-Дону и так в этом преуспел, что забыл о своей жене, хотя забыть о таком объемном грузе было сложно, и пытался пригласить на медленный танец Генину маму, которая вмерзла в стул, но дядю это не смутило, и он поднял ее вместе с ним. Под бурные аплодисменты кубанский казак покружил стул с полумертвой преподавательницей филфака по зале и уронил их обоих практически в торт.

Конкурсы были настолько глупы и абсурдны, что даже неизбалованные анимацией гости из-под Рязани (были из Рязани, а были из-под) их освистали и предложили всем начать носить своих спутниц вместе со стульями по примеру ростовского товарища. Визг, крик и поломанная мебель.

Катина мама, женщина простая, но добрая и чрезвычайно воспитанная подсела за стол к Генкиным родителям и обнадежила: «Вы потерпите, пожалуйста, я все понимаю».

Потом пошла траурная процессия с ненужными подарками и нужными конвертами, затем реквием, тьфу, танец под песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» и наконец кидание венков в толпу потенциальных невест.

Оскорбленная поступком мужа жена ростовского танцора сказала, что тоже будет ловить венок, и, придавив парочку незамужних девиц, заполучила-таки пропуск в следующий брак.

Один из гостей подошел к Генкиной бабушке с какими-то несуразными комплиментами и закончил все восхитительной фразой: «Ведь есть же и среди евреев хорошие люди».

После этого бабушка поделилась со мной опасением: «М-да, жениться это полбеды, важно как потом разводиться, а здесь боюсь, если что, миром не получится».

Друзья Катиного отца посадили меня с женихом за стол и стали заливать водку в наши тщедушные тела, параллельно обучая жениха хитростям семейной жизни.

«Генка, ты главное бабу не распускай! И запомни, от хорошего леща еще никто не умирал, нет, конечно бить женщину нельзя, но леща прописать можно!» – учил жизни моего друга человек с запястьем размером с Генкину голову.

Свадьба гремела на весь отель, я пытался затащить в заранее снятый номер одинокую подругу невесты, но она оказалась девушкой с принципами, и затащить мне удалось лишь бутылку виски. С ней я и заснул.

Утром меня разбудил озвученный, упомянутый выше звонок.

«Саня, делать, делать-то что? Я, главное, не понимаю, за что я ее так, мы же сразу заснули почти, когда я успел? И ты же меня знаешь, я муху не обижу, а Катька, она такая нежная. Господи, как я мог…»

«А Катя не помнит?»

«Да она вообще до сих пор только мычать может, убралась в полный салат, хотя, как в зеркало посмотрела, протрезвела немного, но, когда я ее ударил, не помнит, говорит только, папа меня убьет, и что она не думала, что я в принципе способен поднять руку на женщину. Я тоже так не думал».

Отмечу, что Генка среди нас был самый приличный. Ко всем, даже самым мимолетным, знакомым он относился как к лучшим подругам, всегда провожал домой, искренне заботился, говорил о девичьих проблемах часами, если от него этого хотели. В общем, мы стыдились себя в лучах Генкиной добродетельности. И тут избить жену. Хотя один раз я видел, как у него слетает голова с катушек, и тогда он был страшен. Отмечу, и тот случай произошел при участии алкоголя.

Тем не менее проблему надо было решать. Голова у меня разрывалась, и я попросил в roomservice принести мне бутылку пива. Пришедший официант спросил меня:

«Невеста-то как, жива? Досталось ей вчера…»

Я поперхнулся.

«В смысле?»

Оказалось, что моя жажда пива спасла ячейку общества и лично новоиспеченного мужа. Гена с Катей, точнее с телом Кати, пошли спать в свой номер. В это же время официант roomservice нес заказ в соседнюю комнату и увидел следующую картину. Невеста, больше напоминавшая свернутый ковер, была прислонена к стене, а Гена пытался вставить карточку в щель замка. Когда это удалось, он открыл дверь в номер, взял Катю на руки, как обычно это делает прекрасный принц, и попытался внести невесту в дом. Болтающиеся ноги невесты бились при этом о левый косяк двери, а безжизненная голова – о правый. Гена был так накачан водкой, что мог оценить только одно событие: Катя в дверь не входила, а вот почему это происходило, он не понимал и поэтому пытался ее так внести раза три (последний почти с разбегу), пока официант его не остановил. Гена его послал, но послушал и затащил невесту бочком.

Я позвонил Гене и все рассказал, затем схватил официанта в охапку и пошел искать Катиного папу. Он был найден на завтраке трезвым, бодрым и чисто выбритым. Только при мне бывший военный выпил почти 0,7. Да. Вот это закалка. Послушав трагическую историю, он кратко и без лишних эмоций все расставил по местам: «Походит в темных очках неделю, и всего делов, а муж молодец, хотел традицию соблюсти».

Вечером молодожены улетели в путешествие, на всех фотографиях Катя была в огромных солнечных очках, и про насилие в семье больше никто не узнал. Они, кстати, так и не развелись, более того, бабушка взяла на себя роль профессора, и через год Дуллитл было не узнать. Сдружились даже отцы, за исключением одного разногласия. Тщедушный Генкин папа просит отдать внука в рязанское училище ВДВ, а десантник – лоббирует СПбГУ. Каждый вымещает свои комплексы на детях как умеет.

P. S. И еще немного про Генкину семью. На момент свадьбы Катя уже не была беременна, не сложилось в тот раз, к сожалению. Она переживала, боялась, что ей не поверят, подумают, что она, в принципе, это все придумала, или что жених отзовет предложение, но воспитание есть воспитание. Когда Гена сообщил своим о проблеме, бабушка спокойно сказала:

– Уверена, на твои планы относительно женитьбы это не повлияет. Не позвать замуж беременную девушку – трусость, а вот отказаться от потерявшей ребенка – это уже предательство. Данте оставил для таких последний круг. Я тебе не советую.

– Бабушка, я и без Данте понимаю, что можно, а что нельзя.

Этюд заботливо-бордельный

Быть тоньше – не значит выбирать слова, а лишь выбирать время для слов.

Итак, кто не знает, в юности я изучал петербургские публичные дома (не похоти ради, а токмо волею пославшего меня туда главного редактора). Местные гражданки странного посетителя приняли хорошо, платил я за болтовню как за любовь, и они подробно рассказывали занятные истории из своей неоднозначной трудовой деятельности. Я далек от романтизации данного образа жизни, драм там было предостаточно, но и веселые, даже сказал бы светлые события происходили регулярно.

Одним из постоянных клиентов борделя на улице Марата был крупный научный деятель. Представим себе, что звали его Арсений Михайлович. Ученому было к семидесяти, милейший дедушка, который считал ниже своего достоинства развращать студенток, а исполнять супружеский долг со своей любовью юности, ставшей женой лет 40 назад, было выше его сил, да и ее тоже. Тем не менее супругу он любил всем сердцем, о чем знал весь бордельный профсоюз, в остальном был ей верен и, более того, даже в публичном доме связал себя узами распутства с одной только девушкой. Звали ее Алиса, в миру Антонина из Луги. Ходил дедушка к Алисе как на заседание кафедры, раз в две недели, заслужил право звать ее настоящим именем, приносил всем конфеты и даже имел в данной квартире собственные тапочки. Также Арсений Михайлович хранил в местном баре армянский коньяк, который девушки считали дешевым пойлом, а профессорские упоминания Черчилля считали ругательством.

Помимо научных трудов, Арсений Михайлович что-то намутил в Перестройку и, в общем, не бедствовал, а родной институт даже обеспечил его извозчиком. Как я уже сказал, ученый наш любил свою жену и подходил к вопросу конспирации со всей строгостью науки, так как обоснованно считал, что такого адюльтера старорежимная женщина не переживет и не простит. Водителя отпускал за два квартала, периодически меняя диспозицию. Но так как на улице Марата было несколько имевших отношение к его работе учреждений, то подозрений поездки не вызывали. Также внимательно профессор относился и к другим деталям: инспектировал одежду на предмет случайных женских волос, тщательно мылся в душе, уходя проверял наличие всех вещей и четко соблюдал расписание.

Однажды осенью Арсений Михайлович пришел в обычное время, сразу был препровожден в комнату, присел на кровать и попросил свой коньяк. Алиса-Антонина заболталась с другими девушками и появилась в комнате минут через пять.

Профессор спал.

Она попыталась разбудить его, но из уважения к заслугам клиента делала это нежно и заботливо. Арсений Михайлович частично вернулся в сознание:

– Тонечка, я посплю немного, ты только не буди пока, я за все заплачу, просто встал сегодня очень рано…

Он достал из неснятых брюк сумму за два часа, отдал Алисе и засопел. Лужская девушка была сердцем добра, дедушку раздела, накрыла одеялом и попросила работниц соседних комнат стонать вполсилы.

Арсений Михайлович, не выходя толком из сна, продлевал его два раза, и постепенно наступил вечер.

Около девяти в регистратуре борделя раздался звонок:

– Девушка, добрый вечер. Скажите, а Арсений Михайлович до сих пор у вас? Я его жена и как-то уже начинаю волноваться, пятый час пошел. Не нужно только вешать трубку, я все знаю, он у вас бывает через среду. Сегодня он в сером костюме, красном галстуке и на нем белые в зеленую полоску трусы, так что я точно его жена. Просто поймите меня правильно – человек пожилой и обычно он от вас через час выходит, а тут застрял. Водитель порывается к вам подняться, звонит, спрашивает «что делать?», а зачем нам всем скандал? Так с ним всё хорошо?

Начальница регистратуры, видавшая на своем веку многое, ненадолго потеряла дар речи и надолго обрела уважение к институту брака.

– Понимаете… он спит… Говорит, устал, но мы только полчаса назад проверяли – с ним все хорошо.

Сидевшая напротив Алиса начала отчаянно жестикулировать, пытаясь перерезать телефонный шнур взглядом.

– Вы уверены? А он уже сделал то, зачем пришел или еще нет? – ровным голосом спросила жена профессора, как будто речь шла о библиотеке.

Потерявшая всякое чувство реальности происходящего управляющая борделем голосом зав. библиотеки ответила:

– Пока нет. Он сразу лег и просил не мешать, мы даже тише себя ведем. Может, разбудить?

– Ладно. Давайте, через полчаса будите его, иначе он совсем застрянет, начнет волноваться и придумывать всякую ерунду, а он такой плохой врун, что мне больно на его мучения смотреть. А раз уж этот разговор состоялся, скажите… как мужчина он здоров, все хорошо? Вы же понимаете, пока к вам ходит, жить будет, – в голосе жены профессора не было ни слезливой сентиментальности, ни лицемерия. Она просто поинтересовалась здоровьем супруга.

– Ну, у нас такие мастерицы, что любой здоровым будет, – пошутила из астрала «заведующая библиотекой». – Но ваш супруг еще в полном порядке, так что жить ему долго!

– Ну и слава богу. Еще момент. Если вы хотите, чтобы Арсений Михайлович и далее продолжал приходить именно к вам, о нашем разговоре ему ни слова. Всего доброго.

После нескольких минут тишины обе девушки начали медленно приходить в себя.

– Кто бы нас так любил, как она его…

– Кто бы нам мозги такие дал… – ответила Антонина.

Через указанное начальством время Арсений Михайлович был разбужен. Посмотрев на часы, он начал причитать, заламывать руки, пытаться придумать объяснение для жены и через десять минут «преждевременно эякулировал» из гостеприимной квартиры. До любви дело не дошло.

Та самая управделами борделя рассказала мне эту историю через полгода после описанных событий. Алиса уже бросила работу, оплатив последний год обучения. Кстати, профессионалы отрасли говорят, что кое-как и не всем, но все-таки выскочить из капкана можно, если только не проработал больше года. Дальше наступают уже совсем необратимые изменения в душе и в мировоззрении. Арсений Михайлович погоревал, но, как истинный джентльмен, замену ей искать в той же квартире не стал.

В память о дивной истории (которая, возможно, озвучена не только мне и не только мною), в баре стоял его армянский коньяк. Я отпил и поспорил с Л. Н. Толстым. Все семьи и несчастливы по-разному, и счастливы неодинаково.

Свидетель

Дубай. Отдых. В районе полудня иду по одиноким коридорам своего отеля. Тихо. И вдруг в тишине стон, и еще один, и еще… хороший такой, без истерики и театра, слышно, что скромной и скрытной женщине очень-очень хорошо. Заслушался… когда сам участвуешь в процессе, как-то не удается вдумчиво слушать эти прекрасные звуки. Столько других мыслей отвлекает: «А хорош ли я? А хорошо ли ей? А скоро ли футбол? А что там в „Игре престолов“? А оральный секс все-таки лучше, ну и т. д.».

А тут такой искренний чистый звук. Минуту, наверное, стоял. Наконец стало неудобно, пошел, завернул за угол, а там – парнишка лет 12–13 с красным лицом, круглыми глазами и смесью ядерного любопытства и термоядерного страха… Встретились взглядами. Он сначала стушевался, но я дал понять, что мы с ним оба слушатели, говорю:

– Sounds great! (Отличный звук.)

– Ou, yes, mmm… it’s my mom, you know, i just wanna take my phone… (Да, вообще-то это моя мама… а мне надо за телефоном зайти.)

Новогодний брак

Если речь идет о чувствах, интуиция почти никогда не обманывает нас. Мы же почти всегда пытаемся ей не поверить. Мы верим в «почти».

Судьба – это не рулетка, а программный код. Никаких случайностей. Ошибочные смс (это первая из ряда историй с таким сюжетом) никогда случайно не отправляются.

Итак, где-то в начале века мой скучный друг Аркаша встал на тернистый путь моногамии. Шел он по нему с девушкой по имени Анна.

У Ани были изящные руки и озерцо обаяния. Пожалуй, всё. Красоты особенной в ней не наблюдалось, да и магии тоже.

Несмотря на это, Аркаша был к барышне привязан и даже строил какие-то планы:

– Я уже готов начать размышлять о том, что пора задуматься о возможности сделать через несколько лет намек на перспективу свадьбы.

Но дальше размышлений жених не заходил. Всегда забавно наблюдать за мужчинами, считающими, что они – властелины времени.

Наступило 31 декабря. Мы собирались большой компанией вставить бенгальские огни в оливье и заснуть лицом в бланманже, приготовленном моей тетей Верой. Для подготовки к этому сакральному событию я направился в квартиру Аркаши прямо с утра. Мешать спирт с вареньем и селедку со свеклой. Хозяин квартиры встретил меня следующим пресс-релизом:

– Сань, тут такое дело… ты меня знаешь, я не такой уж бабник, но вчера встретил на улице Киру Азарову. Помнишь, из моей группы? В общем, если я сейчас ей напишу, она днем приедет поздравить, так сказать.

– Аркаша, я ее очень хорошо помню, но ты же верный, как кирпичи мавзолея, мы тобой все гордимся! С чего вдруг тебя так понесло?

– Знаешь, иногда смотришь девушке в глаза и понимаешь, что собой не владеешь. Это так редко бывает в жизни. Ну как мне остановиться… да и закрывать этот гештальт нужно, – Аркаша был таким занудой, что прочел всю околосексуальную литературу.

Герой потыкал в телефон и, довольный, наконец сообщил:

– Цыпкин, вали домой до пяти минимум, жребий брошен, как говаривал Наполеон.

– Вообще-то, Цезарь. И что ты там бросил?

– Читай.

Я стал читать оправленное им сообщение:

«Кира, жду Вас в два часа, чтобы романтически проводить Новый год, держать в руках себя не обещаю, уж слишком Вы прекрасны для моей скучной жизни».

Аркаша сидел и курил. Счастливый, торжествующий, со взглядом Цезаря, входящего сразу в Нью-Йорк.

Все было прекрасно в этом сообщении. Стиль, посыл, лаконичность и особенно адресат. Аркаша отправил его своей Ане.

Я смотрел на своего друга и удивлялся материальности мыслей.

– Аркаша… ты его Ане отправил.

Сказать, что мой друг покрылся инеем – это не сказать ничего. В тот момент, когда я озвучил ему приговор, он сладостно выдыхал табачный дым. После моих слов дым еще минуты две шел из его открытого рта, как пар из кипящего чайника. Я медленно вынул сигарету из его окостеневших рук.

Еще через минуту он холодным голосом сказал:

– Я только что ее убил.

– А Кира – мужское имя, может как-то это обыграть? – Я неуклюже пытался найти решение.

Казалось, он не услышал моих слов:

– И дело же не в том, что я скотина и она меня бросит. Аня не то чтобы очень красивая, и знает об этом.

А фотографию Киры она видела. Нельзя бить в самое больное место. Нельзя.

Аркаша был прав. И действительно, уж если уходить в левый ряд, то не с тем, кто круче твоего партнера по его ключевому комплексу неполноценности. Но в тот момент я вспомнил бабушкины слова: «Интеллигент совершает те же низости, что и обычный человек, но при этом очень переживает». Кстати, с этой точки зрения, я – истинный интеллигент.

– Позвони ей, мне кажется, найдутся слова.

– Она не ответит, – Аркаша ушел в другую комнату, но скоро вернулся. – Бесполезно.

– Давай так: ты ей напиши, что это я случайно отправил с твоего телефона, у нас же одинаковые «Ноки». Ну а я скажу, что они у тебя в телефонной книге записаны рядом.

– Очень логично, что Аня и Кира идут друг за другом. Хотя Кира же Азарова, может, и правда, прокатит…

Смс с объяснениями улетела. Ответа не последовало.

Аркаша взял телефон и стал методично что-то набирать.

– Я сознался во всем своем мелком вранье, сказал, что между мной и Кирой ничего не было, что это было просто наваждение какое-то и попросил меня простить…

Звонок. Тонущий в болоте не так хватается за камыш, как Аркаша рванул к трубке… Но брать ее не стал.

– Это Кира. Сань, ответь, что я умер, или что меня инопланетяне забрали, или что ко мне жена приехала.

Занятно, как иногда быстро проходит одержимость и все эти «собой не владею…»

– Насчет жены – смешно.

Аркаша задумался и вдруг отрезал:

– Знаешь, а я поеду предложение сделаю!

– Что?! Ты сейчас неадекватен и просто хочешь как-то проблему решить!

– Ты меня часто неадекватным видел?

– Согласен. Неадекватность – это дар Божий, не всем он дается.

Через час молчания мы стояли у двери Аниной квартиры. То, что она дома, Аркаше было известно, так как они еще утром договорились, что он ее заберет вместе с каким-то салатом.

Обычно флегматичный, Аркаша нервно поправлял волосы, расстегивал и застегивал куртку, заглядывал в мои глаза, как будто ждал ответа не от Ани, а от меня.

«Эко его скрутило», – с завистью подумал я.

Я позвонил. Замок повернулся. По лицу Ани все было понятно.

– Мальчики, простите ради бога, я все проспала… Я только сейчас увидела все звонки пропущенные, и там еще смс куча. А вы, наверное, испереживались…

Аркашу можно было сразу сдавать в музей мадам Тюссо. Его душа не могла выдержать второго такого удара.

Пока не дошло дело до третьего, я решил избавить Аню от удовольствия прочитать «кучу смс».

– Аня, дай, пожалуйста, свой телефон, мой сел.

Я взял аппарат и ушел на кухню. Чистка компромата заняла пару минут.

– Аркаша, тебе какая-то Кира звонит! – Послышалось из гостиной.

Я вошел, взял телефон, и сказал:

– Это она мне звонит, мой же сел, я дал Аркашин номер.

Мне показалось, что в глазах друга даже мелькнула ревность.

P. S. В Киру я по уши влюбился, растерял весь цинизм, ползал в грязи, целовал шнурки, строчил жалостливые письма, требовал внимания, ныл, что готов на все, превратился в истерика и был ожидаемо послан через три месяца. Еще три месяца проходил реабилитацию. Представляю, что бы она с Аркашей сделала! Одних гештальтов на полжизни оставила бы.

P. P. S. Предложение в тот вечер Аркаша не сделал. И правильно. Любовь – чувство свободных в выборе, а не тех, кто в данный момент до смерти боится кого-то потерять или мучается чувством вины. Может, я ошибаюсь, но эмоции, рожденные под давлением извне, не являются

настоящими. Уйдет давление – уйдут эмоции. Как говаривала одна моя мудрейшая знакомая: «Ничто так не убивает безответную любовь, как год взаимности».

Сценарий для порно без happy-end

История о силе женского духа

Давным-давно в тридесятом царстве жил был я. И жил не один, а с прекрасной принцессой. И все было расчудесно, за исключением… отсутствия шкафа.

Я решил взять эту проблему в свои кривые руки и повез нас обоих в бутик эксклюзивной мебели ИК…, расположенный в живописном месте за КАДом. Бутик посещаемый и популярный.

Там я и узнал, что вовсе не каждый шкаф вылезает из станка в собранном состоянии. На стене у входа в магазин меня приветствовал красивый рекламный текст, суть которого сводилась к следующему: «Нищеброд, слушай меня внимательно! Ты здесь, потому что считаешь себя самым умным? Нет! Самый умный здесь я. Поэтому ты заплатишь те же деньги за шкаф, соберешь его и будешь радоваться, что сэкономил. Прости, но я также полагаю, что ты настолько бездарен, что не в силах купленную мебель собрать – без проблем, за тебя и это сделают. Если ты читаешь это объявление и вокруг тебя суетятся тысячи таких же муравьев, значит, я не зря занимаю свое место в журнале Forbes, а вот ты в нем пока не числишься даже рекламодателем».

Что отличает петербуржца от жителей других городов? Он точно знает глубину задницы, в которой находится. Что еще его отличает? Ему абсолютно пофигу, ибо в этой заднице он все равно самый культурный! Так что я не расстроился от осознания прочитанного.

Свысока посматривая на остальных «муравьев» и отстояв час за разогретыми фрикадельками, мы таки купили шкаф! Радовало, что купили быстро и только шкаф. С еще большего «высока» я наблюдал на молодые ячейки общества, которые с перекошенными лицами гробили свой медовый месяц из-за разных подходов к выбору абажура или коврика в ванную. Сразу подумалось о жизненном цикле «встреча, любовь, загс, ремонт, развод». Отвлекусь: один раз в отделе матрасов я услышал, как громоздкая жена извергла на своего тщедушного мужа убийственную фразу: «Вова, трахаться хочешь?! Грузи эту гребаную кровать и не ной!»

Вернемся к шкафу. Оплатив карточкой ХХХбанка «с рассрочкой платежа» (ты о нем забываешь и потом платишь мильон процентов годовых) и еще раз ощутив ногами илистое дно питерского гламура, я вдруг созрел для бунта и революции, повернулся к принцессе и заявил, что «сборка не нужна, я сам». Девушка меня любила и уважала, поэтому ответила вежливо:

– Самоделкин, ты что, заболел?! Ты лампочку вкручиваешь месяц с помощью инструкции и консультантов, более того, она потом все равно не горит. Ты знаешь, что такое вечность? Так вот, умножь на два и получишь время сборки шкафа твоими мастеровитыми руками.

Это была чистая правда. Я – практическое воплощение нового закона Мерфи. «Если что-то не получается сломать, отдайте это Цыпкину, он сломает». На уроках труда меня держали в железной клетке в смирительной рубашке. Просто учитель не хотел сидеть в тюрьме. Но я топнул ботиночком и, опустив голос до хрипоты, сообщил, что мужик в доме Я.

Скажу честно, сдался «мужик» быстро. Привез, разложил все и капитулировал. Радовало одно – при этом мое самолюбие даже не шелохнулось. Свидетельнице позора я заявил, что мое время

дороже, а признавать поражение способны только истинно великие люди. И стал искать телефон службы сборки мебельной компании.

Приход гуру отвертки был назначен на субботнее утро. Настало время решить, кто будет сидеть со сборщиком. (В доме человека, покупающего шкаф в ипотеку, очень много ценного. И я, естественно, не мог допустить даже мысли оставить постороннего без надзора в этом музее.)

– Он же что-нибудь украдет! – гремел мой голос на все 30 метров пентхауса.

– А я не собираюсь сидеть с потным мужиком одна! – гремел женский голос в ответ.

Щедрость и великодушие всегда были моими сильными сторонами:

– Не вопрос, я посижу, а ты сходи в кино.

О, эти минуты благодарности российской женщины…

Настал шаббат. Сборщик обещался прибыть в 11:00. Принцесса стояла в прихожей, спиной к входной двери и лицом к зеркалу. Тушь быстро занимала свое место на ресницах. Звонок. Я открыл дверь и… На пороге стояла красивая молодая девушка в коротких шортах, с грудью, взятой напрокат у Памелы Андерсон, пакетом и чемоданчиком с инструментами.

– Вам шкаф собирать?

– Нам! – выдохнул я и сполз по стене, уходя в бесконечный и беззвучный хохот.

Моя принцесса с застывшими рукой и взглядом повернулась на 180 градусов и посмотрела на «потного мужика», с которым мне предстояло «сидеть». Обида, удивление, восхищение и обреченность калейдоскопировали на ее лице. Я слился с вешалками.

– Доброе утро! Проходите, пожалуйста. Простите за вопрос. А вы единственная девушка-сборщик в вашем магазине? – ртутью вытек вопрос из уст моей возлюбленной.

– Да, – понимая весь драматизм ситуации, сборщица старалась не улыбаться и спрятать грудь, которая с трудом помещалась в прихожей.

Далее гаубица повернулась в мою сторону и выстрелила:

– Цыпкин (запикано), объясни, а почему во всем (запикано) пятимиллионном городе девушка-сборщик пришла именно (запикано) к тебе?!

Расстрел был прерван вежливым вопросом:

– А где у вас можно переодеться?

Ее слова спасли мою бессмысленную, но яркую жизнь.

Вынырнув из вешалок и обойдя гаубицу, я сопроводил гостью в ванную. Пока шел процесс преображения, свет очей моих отчеканил следующее:

– Если ты просто хотя бы подумал о чем-то, а я точно знаю, что ты подумал, то имей в виду: это будет последний секс в твоей распутной жизни, и тебя похоронят в этом собранном шкафу, но без некоторых частей твоего тела.

Я сглотнул и дважды моргнул. Звучало убедительно.

Нимфа вышла из ванны в синем рабочем комбинезоне, футболку сменила майка с достаточно большим вырезом.

– Где собирать будем? – спросил вырез на майке, глядя мне в глаза.

– Саша вам все покажет, – ответила принцесса и покинула квартиру.

Если вы ожидаете бурной сцены любви, вынужден вас огорчить. Я не просил, да, думаю, мне бы и не дали. В том молодом возрасте я был таким «брутальным красавцем», что дать мне можно было только из очень большой любви, которая, как известно, не добра, но регулярна.

Но как она собирала! На коленях, с ПРАВИЛЬНО изогнутой спиной (а это, кстати, искусство!), уверенно вкручивая шуруп за шурупом.

В общем, как там его, «нефритовый стержень» давал о себе знать. Ну и вырез не охлаждал моей, если не ошибаюсь, «вздыбившейся плоти».

Помимо похоти меня мучило любопытство. Это сочетание, кстати, и привело меня в итоге ко всем жизненным успехам. Но сейчас не об этом.

– Простите, а что стало причиной ухода в столь мужскую профессию? – елейным голосом поинтересовался я.

– Деньги, – холодным голосом ответила она. – Все просто. Я работала менеджером по продажам и зарабатывала тридцать тысяч, на съемную квартиру и помощь маме не хватало. Сейчас только чаевых в месяц у меня под сто тысяч плюс несколько приглашений в рестораны, два в отпуск и одно замуж. Шкаф готов. С вас… (не помню сколько, но заплатил я раза в полтора больше).

Все действо заняло 40 мин. Нимфа переоделась, улыбнулась, постояла, улыбнулась с подтекстом, посмотрела в глаза, поблагодарила за выдержку и ушла.

А вот я бы, может, и не смог бы перейти из менеджеров в сборщики мебели. Понты не пустили бы, да и духа бы не хватило друзьям признаться.

Обмани меня, если сможешь

Один модный журнал попросил меня как-то рассказать о самом неудачном свидании. Пришлось повспоминать.

Прекрасным летним днем 200… года я решил пойти в кино. Фильм, как положено, меня не интересовал, а вот спутница – очень. Звали ее не Ира, но пусть будет Ира. Уже месяц я занимался в ее отношении подрывной работой. Накануне вечером она почти сдалась, но опять чего-то не хватило. Я уже был похож на нервного гимназиста и утром опустился до гороскопа.

«У Весов сегодня все будет не так, как вчера». Ванга писала, сразу видно. Но надежда во мне поселилась.

Звоню. Без «приветкакдела» стреляю: «Сегодня в девять идем в кино».

Такой прием обычно срабатывал.

– Идем. На что?

– В «Художественный», премьера, – фильм не помню.

– Я сама приеду.

– Отлично.

Ничего отличного я в этом не видел. Остаться наедине в ее машине – прекрасная возможность для беседы о Канте.

Прусь в кинотеатр, беру билеты.

Приходит СМС с неизвестного номера:

«Ну что, в кино-то все-таки идем?»

Отвечаю: «Конечно идем!»

А я не знал, что у нее второй номер есть, вот ведь зараза какая.

«Во сколько и куда?»

Пока липкое ощущение подставы обволакивает мозг, я автоматически набираю: «Художественный, 21:00».

«Заедешь за мной?»

Дело труба. Дубль первый.

Это точно не Ира. Теперь есть два вопроса:

1. Кто это?

2. Что делать с Ирой, если не удастся отмазаться. «Напомни адрес, пожалуйста».

Сейчас все пойму.

«Ветеранов, 156, у второй парадной».

Что?! Да я в этом Гарлеме не был несколько лет!

Как истинному петербуржцу мне стало очень неудобно перед девушкой. Живет черт-те где, явно я ее в подпитии в баре каком-нибудь позвал в кино, а она поверила. Буду честным и благородным. Да и, мало ли, может, она лучше Иры?! А Ира в следующий раз.

«Заеду в восемь».

«Ок».

Че за «ок»?! А где «целую» там и т. д. Ну ладно! Так, теперь надо от Иры отмазаться. Делаю очень серьезный голос, как будто я д'Артаньян, который прямо сейчас пришивает голову Миледи обратно.

– Але, Ир, привет, тут такое дело…

Очень сонный голос перебивает:

– Сань, я чего-то заболеваю, давай в следующий раз?

– Ну, Ирочка, ну конечно! – Гороскоп не врал! Это знак.

– Тебе завезти лекарства?

«Нуууу, давай… давай… давай., сама… сама».

– Нет, спасибо, врач придет.

Это мой день!

– Ну, отдыхай, я тогда поеду к маме, с собакой погуляю. Она как раз звонила, и я думал перенести наше кино на завтра.

– Ну и хорошо, целую.

– Целую!

Отлично! И эта моя, и новая есть!

20:00. Проспект Ветеранов, 156:

В моих мечтах Она – высокая, пышногрудая, в платье на голое тело, выходит и отдается мне прямо в машине, а потом не поднимает головы весь фильм…

Мечты не всегда сбываются.

«Незнакомка» была маленькая, в идиотских шортах и футболке с черепом, с кривыми, волосатыми ногами и лысая. Звали «ее» Игорь. Знал я «ее» со школы.

– Здорово, дезертирам! К разврату товсь!

Дело труба. Дубль два.

Какой же я идиот! Он же приехал с военных сборов на один день, и мы собирались в кино пойти кого-нибудь склеить, а это квартира его тетки, мы же обо всем договорились в прошлые выходные, и номер я его новый не записал, болван!

21:00. Входим в зал. Билеты взяли на последний ряд, чтобы видеть все стадо. Начинаю искать замену Ире. На последнем ряду сидит Ира с каким-то парнем.

Очень немая сцена.

Есть несколько проблем:

1. Ира меня кинула.

2. Ира меня кинула ради парня.

3. Ира видит, что я ее кинул.

4. Ира видит, что я ее кинул ради парня.

Вроде все одинаково, но есть нюанс (с).

– Врач? – Кивнул я на Ириного друга.

– Спаниель? – Кивнула Ира на Игоря.

Она всегда знала, что сказать в ответ. Игорь и «тот парень» переглянулись.

Школьный друг разрядил ситуацию:

– Мы пришли сюда познакомиться с парой таких же любителей кино, так что вы, ребята, нам частично не подходите.

Игорь захохотал, а я криво захихикал с двумя дырками в голове от Ириного взгляда. «Тот парень» смотрел на нас с брезгливым недоумением: мало того, что два гея, так еще и пару ищут.

– Удачи, мальчики, – бодро закончила знакомство Ира.

Одиноких девушек в кино не нашлось. Божественно красивая, как мне в тот момент казалось, Ира демонстративно целовалась с «врачом». Игорь не менее демонстративно склеил билетершу, чем спас свою и мою гетеросексуальную репутацию. А я поехал домой. Одинокий, честный и бл… благородный. Наказан я был за вранье. Кроме того, женщины интуитивно ощущают тайную попытку усидеть на двух сразу и этого греха по возможности не прощают.

Этюд шиномонтажно-бордельный

Проезжая мимо шиномонтажа, подумал, что «развал – схождение» – отличный девиз для семейного психоаналитика.

Еще один забавный факт о борделях. Организаторы древнейшего промысла чрезвычайно заботливые люди и всегда пеклись о семейных скрепах. Своим клиентам они вручали визитки с асексуальной надписью «Шиномонтаж».

Расчет верный. Такая визитка, лежащая в портмоне, подозрений не вызывает.

Я рассказал об этом чудесном маркетинговом ходе своей девушке и забыл. Оказалось, она не забыла.

Прошло пару месяцев, наступил июнь, и я традиционно задумался о смене зимней резины на летнюю. Поехал в шиномонтаж, всё сделали быстро и дешево. Я взял карточку с адресом и кинул ее на столик в прихожей, где аккуратно валялись все ВАЖНЫЕ документы.

Еще через несколько дней моя девушка в каком-то обычном вечернем разговоре уведомляет меня:

– Прости, не спросила разрешения, но визитку твоего борделя я отдала приятелю – ему иностранцев выгулять нужно.

Я чуть не подавился:

– Какого борделя?

– Ну, у тебя лежала визитка «Шиномонтажа», я решила, что это с той журналистской истории.

– Вообще-то это реальный «Шиномонтаж»… – сказал я со смешанными чувствами легкой обиды и облегчения.

– Да? А предупредить нельзя было?! Сейчас туда двух итальянцев приведут! Надо срочно звонить Андрею!

– Не звони, – в моих глазах сверкнул адский азарт.

– Ну ты и скотина… – ответила с улыбкой виновница торжества.

Спать мы не могли и словно школьники в ожидании взрыва бомбочки прожигали глазами телефон.

В 1:30 пришла смс: «Я убью тебя».

Ну а теперь история словами сластолюбца Андрея:

Все шло по обычной схеме для иностранцев половозрелого возраста, попадающих в Россию:

18:00. «Мы поужинаем и спать».

21:00. «А может, сходим в хороший стрипбар, просто посмотрим».

23:00. «Почему в „Максимусе“ это стоит 1000 долларов?! Есть ли где-нибудь дешевле?»

В 23:01 Андрей, отчаянно желавший выслужиться и выглядеть человеком, бывавшим на дне, достал волшебную визитку и набрал номер:

– Работаем?

– Круглосуточно.

– Нас трое, примете в гости?

– Мастер один, подождать придется.

Шифруются. Понятно.

– Так мы втроем к одному сразу, – весело пошутил организатор разгула – и вся троица села в такси.

«Шиномонтаж» находился в фешенебельных трущобах Петроградской стороны. Промзона позапрошлого века, плавно переходящая в дома пониженной комфортности. В таких местах русским днем страшно, а уж итальянцам, да еще и ночью… Они даже из такси выходить отказались поначалу. Но водитель тоже не очень-то хотел задерживаться в столь недружелюбном месте, и в итоге троица боязливо вошла в железный бокс.

– Андрей, ты уверен, что мы ТУДА пришли?

Неуверенный Андрей уверенно заявил, что в России все бордели выглядят именно так в целях конспирации.

Тут стоит отметить, что было Андрею 23, и в публичных домах он до этого не бывал. Но история про мои журналистские похождения до него докатилась, поэтому он и обратился ко мне за советом. То есть он не знал, может ли бордель начинаться с «Шиномонтажа», как театр с вешалки.

Подойдя к единственному в коробке человеку, Андрей проговорил:

– Нам бы отдохнуть…

Мастер отвлекся от своих железяк, озадаченно посмотрел на посетителя, на глупо улыбающихся итальянцев, подумал и решил уточнить:

– Мне бы тоже. Вы чего хотите?

– Ну… хотим поменять деньги на секс. Нам сказали, с вами этот вопрос решить можно, – Андрей подмигнул и похотливо улыбнулся.

– Я тебе, сука, сейчас домкрат в жопу запихаю!! Развелось, б… пидарасов!

Андрей получил легкий удар в живот и тычок в челюсть. Итальянцы немедленно сбежали, потеряв интерес к российским борделям навсегда.

– Мужик, ты чего?! Нам сказали, тут салон с проститутками! У меня визитка есть! – Завопил горе-экскурсовод.

Мужик посмотрел на визитку и пнул Андрея еще раз.

– Ты что, дебил? Тут же «Шиномонтаж» написано!

– Мне сказали, это для конспирации!

Мастер подобрел и даже засмеялся.

– Для чего? Тебя кто развел-то так?

Далее гуру покрышек разъяснил Андрею расположение домов терпимости в данном микрорайоне, налил сто граммов в качестве моральной компенсации и проехался по трусливым итальянцам, бросившим товарища.

А еще через десять минут смс «Я убью тебя» полетело из «Шиномонтажа» в нашу квартиру. Вслед за смс полетел оттуда и Андрей. Иностранцев поблизости видно не было. Более того, в округе не было видно никого. Вдалеке светилось что-то похожее на бензоколонку. Дезертиры ожидаемо оказались там. Красивые, модные, обосравшиеся. Объяснить произошедшее Андрей не мог, поэтому многозначительно сказал: «Извините, парни, это Россия».

Поиски любви кончились, гости были отвезены в отель.

На следующий день итальянцы пожаловались начальнику Андрея, что тот притащил всех в бандитский притон, где русская мафия их чуть не убила, и бросил там одних. Перед итальянцами извинились и подарили по банке икры. Домой они вернулись героями. Через третьи руки до Андрея дошла их интерпретация событий уже со стрельбой и победой итальянцев над десятками бывших спецназовцев.

Наш же товарищ надолго обрел славу специалиста по публичным домам и месяц с нами не разговаривал. Нечего было выслуживаться и пытаться быть тем, кем не являешься.

Почетная смерть

Пригласили меня как-то на дружеский ужин. Компания небольшая, я – самый младший и самый бездарный, остальные – цвет, так сказать, петербургской культуры, включая почитаемого мною с детства музыканта NN. От близости к великим мой обычно неудержимый речевой фонтан пересох. Молчу. Думаю, как бы поизящней войти в разговор. Вдруг речь зашла о медицине, и я вспомнил одну папину притчу времен его работы на скорой помощи. Они регулярно приезжали для констатации смерти горе-любовников, умерших во время оргазма. Среди врачей это именовалось «почетной смертью».

Была еще одна пикантная подробность. Пожилые мужья имели обыкновение умирать отнюдь не на своих супругах. В итоге бедные врачи мало того, что должны были сообщать женам о трагедии, так еще и об ее обстоятельствах. В общем, я решил, что самое время (и место) рассказать эту веселейшую зарисовку.

В нужных кабинетах меня учили, что внимание малочисленной аудитории следует удерживать, постоянно переводя взгляд с одного слушателя на другого, посмотрев каждому в глаза, причем желательно равное количество раз и равное время, кроме ряда особых ситуаций. Я был прилежным учеником и свою историю рассказывал по вышеуказанной технологии. Получилось что-то вроде считалки. После каждого предложения я переводил взгляд на следующего слушателя – и так по кругу. Оттарабанив свой эпос, я, довольный, увенчал его «вишенкой»:

– А умирают, в основном, на любовницах…

Но считалка выбрала не того человека.

Последние слова я произнес, глядя в глаза жене музыканта NN. Более того, я глупо заулыбался. При этом взгляда я с нее не сводил (речь-то закончилась и моя считалка тоже). Повисла прекрасная пауза, а я медленно начал покрываться росой. NN спас ситуацию:

– Дорогая, я умру на тебе! Не волнуйся!

В компанию меня приняли, но еще долго припоминали о моей способности быть тактичным.

Наш ответ BDSM, или Общество защиты животных

Я думал, это анекдот, ан нет. Приятель пожаловался, что жена, пообещав ему секс с утра, поставила будильник на ПЯТЬ минут раньше.

Моя подруга много лет назад вышла замуж и, кстати, до сих пор счастлива в браке. Избранник ее обладал и, надеюсь, обладает, двумя достоинствами: абсолютная вежливость и практически абсолютная верность. Однажды эти два вектора пересеклись и поставили сексуальную, да и в общем всю жизнь ячейки общества на грань дефолта. Историю мне рассказала подруга, поэтому мужской версии я не знаю.

Однажды ее муж Гриша вернулся домой после девяти, сказав, что впервые за полгода сходил в спортзал, весь там измучился, после этого еще долго сушил волосы, грел машину и так далее, и так далее. В общем, отклонение от графика на три часа получило приемлемое оправдание. Атлет в изнеможении рухнул на диван и приготовился к ежедневному мужскому ритуалу «внезапная смерть от усталости».

Неожиданно пискнул телефон, стоявший в коридоре на зарядке. Отходящий в мир иной муж зашептал:

– Мариночка, если тебе несложно, будь добра, посмотри, пожалуйста, что там с телефоном, нет сил…

Моя подруга, отработав весь день в больнице им. Мечникова, что было в часе езды от дома, сходив в магазин и приготовив ужин, устала не меньше мужа, но не смогла противостоять такой вежливости и поплелась за телефоном.

– Что там? – донеслось из комы.

– Смс.

– Прочти, пожалуйста, чтобы снова не нести на зарядку, спасибо тебе большое.

– Гриша, я не копаюсь в чужих смс.

– Я тебя очень прошу, у меня нет от тебя секретов.

Марина открыла смс и несколько раз про себя перечитала следующий шедевр:

«Ёжик, ты доехал? Я уже хочу еще. Твой хомячек» («хомячок» было написано с ошибкой).

Надо сказать, моя подруга ненавидела в этом мире две вещи: хирурга, неудачно наложившего швы на разорванную во время падения в горах губу, и людей, использующих уменьшительно-ласкательные названия животных в интимных отношениях. Врача, правда, она простила.

Марина вспомнила о статье за убийство, выдохнула, подошла к мужу и громко прочла:

– Ёжик, – пауза, взгляд в округляющиеся глаза Гриши, – ты доехал? – Гриша стал напоминать человека, увидевшего бегущего на него тигра. – Я уже хочу еще! – Тигр мощно отталкивается лапами и с разинутой пастью летит прямо на маленького мальчика…

– Твой хомячок!!! – рявкнула Марина.

– Кто????!!!!! – Гриша выскочил из комы и взлетел к потолку, опрокинув на обитый черной тканью диван протеиновый коктейль, который он пил почему-то дома.

– Какой ёжик, какой хомячок?! Это не я, тьфу, это не мне!!!

– А кому?! Мне даже не так важно, что это за безграмотный скунс тебе пишет, и что у тебя с ней было, но ёжик! Ты врал мне, что также, как и я, ненавидишь эти мерзкие словечки! Может, все остальное тоже неправда, спортсмен хренов?!

– Я их тоже ненавижу! – Гриша перешел на фальцет.

– Ну ты же понимаешь, я бы никогда никого не назвал хомячком! Это какая-то ошибка!

Гриша в отчаянии рухнул в протеиновую лужу, вскочил снова, начал отряхиваться, белые брызги полетели Марине в лицо. Эротическая комичность последнего события несколько разрядила ситуацию. Оба не сдержали улыбок, но через миллисекунду Марина вернулась в образ Шрека, а Гриша в образ кота из того же мультфильма.

– Мариш, это, правда, какая-то ерунда… Я даже не знаю, что это за номер. Давай на него позвоним?

Вид у Гриши был такой несчастный, что Марина начала подозревать его в честности.

Телефон поставили на громкую связь, рот Грише залепили невидимым скотчем. К голове приставили невидимый пистолет.

– Кто это? – без всяких «алё» ответил грубый и неприветливый мужской голос. Типичный альфа-хомяк.

Марина опешила, подумала: «Надеюсь, Гриня не гей, так как если это и есть хомячок, то папа в этой паре именно он» и сняла невидимый Стечкин с невидимого предохранителя:

– Извините, пожалуйста, но с вашего номера только что пришло смс на номер моего мужа, и я случайно, – Марина прожгла Гришу взглядом, – его прочла, а там такой текст, что теперь у нас дискуссия.

– Чо у вас? – Судя по всему, слово «дискуссия» хозяин номера услышал впервые.

– Ты кто вообще, чо за смс?

– Ну, текст такой: «Ёжик, ты доехал? Я уже хочу еще, твой хомячок». Это не вы писали?

– Что?! Прочти еще раз!

Марина повторила этот «мутабор».

– Значит, так, овца, слушай меня внимательно, хомячок – это, наверное, моя жена, так как это ее номер. Но с ней я разберусь, а вот ёжику, мужу твоему, ноги вырву, жди, – трубка отключилась.

У Гриши отклеился несуществующий скотч. Марина даже не знала, что сказать. С одной стороны, звонок ничего не подтвердил и не опроверг. Разве что муж ее оказался не геем, но, с учетом сказанного по телефону, цена у этой информации могла оказаться слишком высокой. Ну а Гриша вообще окаменел. Он регулярно бывал бит в школе, потом в институте, а в конце 90-х умудрился подрезать какого-то братка и чуть не остался без машины.

– Марин, ну это, правда, какая-то ошибка, – неуверенным голосом начал он новое объяснение. – Ты… ну пожалуйста… выслушай меня. А то вдруг они уже сюда едут со мной разбираться.

Более хладнокровная Марина понимала, что прямо сейчас хомячка вздергивают на дыбу, он пищит и дает показания, так что время еще есть. Тем более номер телефона – это еще не адрес.

– Ты что хотел сказать?

– Ты же меня знаешь! Я не очень-то рисковый. Неужели ты думаешь, что я стал бы мутить с женой ТАКОГО человека? Да я бы и телефон ее записал в книжку, так как с памятью беда. И главное,

Марин, я клянусь, что два часа в спортзале был! Там же регистрируют всех, и это… тренера Володю спросить можно!

Ну что я, Штирлиц, что ли?! Меня парковщик запомнил, и за молоком я заехал для коктейля, там меня продавщица опознает.

Марина понемногу начала ощущать себя Глебом Жегловым – роль для жены не лучшая. Более того, логика в сбивчивой речи ее супруга присутствовала. Взяв свой и мужнин телефон, она вышла в другую комнату:

– Сейчас приду.

Гриша схватил бутылку виски и глотнул из горлышка. Не помогло. По телевизору как раз шел повтор сериала «Бригада», и в нем опять всех убивали. Потенциальный труп ежа взял кухонный топорик и решил биться до последнего, в очередной раз пообещав себе, если выживет, пойти на бокс.

Через пять минут жена вернулась.

– Жди. Может, нам… точнее тебе, повезет. Если нет, я сама придушу за вранье.

Вскоре раздался телефонный звонок.

– Да, Сергей Иванович. Спасибо большое! Даже не знаю, как благодарить. Хоть всю жизнь теперь лечитесь. Ну да, спортсмен из него никудышный. До свидания!

Держа в одной руке бутылку, а в другой топор, Гриша проблеял:

– Сергей Иванович – это кто?

– Главный по хомякам! Генерал ФСБ, мой пациент, говорит, ты на самом деле в спортзале был, правда есть свидетель, что ни хрена ты не занимался, а болтал с тренером, и фары, болван, не выключил, но алиби у тебя есть.

– А что с бандитом делать будем? – нервно поинтересовался частично спасенный ложный ёж.

– Сказал не волноваться, да и с чего ты взял, что он бандит, может, ветеринар. Топор-то положи.

Гриша, говорят, еще несколько дней ходил, озираясь, а от звонка с незнакомого номера кривился всей физиономией.

Наконец успокоившись, в один из вечеров он намекнул на готовность к интимной жизни. Через пару минут прелюдий Марина начала смеяться.

– Гриня, ты прости, но давай попозже, я не могу сейчас, – и расхохоталась еще громче.

– Почему? – муж настороженно посмотрел в зеркало, пытаясь найти на себе костюм клоуна или хотя бы неснятые носки. Но нет. Гриша был гол как сокол.

– А ты представь, как ёж с хомяком…

В общем, секс в семью вернулся не скоро. Пошлость ведь любые чувства убить может. Господа, оставьте животных. Навсегда.

Суд из-за неудобной упаковки презервативов

Время, когда мне придется выдумывать сюжеты, неумолимо приближается, но есть еще правдивые неопубликованности. Вот одна из них. Опять же, клянусь светлой памятью моего разгула, всё так и было. ВСЁ.

У постсоветского повесы существовала только одна проблема – где взять временно свободную квартиру, комнату, дачу, коридор, угол. Поэтому наша жизнь 90-х представляла собой этакий яндекс-такси, только вместо свободных машин радар искал оставленную чьими-то родственничками жилплощадь с кроватью, ну, или без.

Иногда это можно было запланировать, ибо дачные обязанности старшего поколения неизбежны, как налоги и конец отпуска.

В один из таких благословенных позднеосенних дней мы с подругой были одарены квартирой на 13 часов.

Полноценным героем событий был мой первый автомобиль. ВАЗ-2105, купленный на деньги от каких-то непонятных махинаций с долларами и не более понятных уроков английского языка. Видела это машина многое… в основном 18+, но об этом в другой раз. Так вот, газуя от нетерпения, я прибыл в указанный квадрат. Машину припарковать удалось с обратной стороны дома, то есть до парадной (москвичи выругались в этот момент), повторяю до ПАРАДНОЙ нужно было идти. Эта подробность важна для визуализации мизансцены. Обойдя дом, я через 10 наносекунд был у двери, за которой обнадеживающе играла музыка. Встречались мы с подругой уже некоторое время, поэтому чай пить представлялось неуместной тратой времени и чая.

Я параноидально контрацептивен и пачка презервативов была со мной всегда, как у некоторых партбилет. Прелюдии пролетели как компенсированное время в финале Лиги чемпионов, и настал момент частично облачиться в латекс. Но латекс, сволочь, схоронился як Януковыч у Ростове. Нет, я правда хочу посмотреть в глаза Кулибину, который придумал полиэтиленовую обертку обычной пачки с тремя презервативами. Пока ее откроешь в ночи дрожащими руками, то, в зависимости от возраста, либо извергнешься, либо упадет то, что поднимали всем подъездом. Там есть такая узенькая хренушечка, ее нужно найти, подцепить ногтем, размотать… ну то есть все для людей, как руль в ВАЗ-2105.

Но нервы тогда у меня были из оптовлокна, и я спокойно подошел к окну, единственному источнику тусклого света: осенняя ночь брала свое. При луне я решил покончить с презервативщиной и через некоторое время, справившись со всеми задачами, выдохнул, мечтательно взглянул в окно и… превратился в тыкву.

Смотрел я на свою машину. Ее грабили.

Какой-то клошарского вида субъект спокойно стоял у открытого багажника моего корвета и лениво перебирал его содержимое. Также рядом с ним стояло ведро, очевидно предназначенное для моего бензина. Я натянул джинсы, свитер, визгнул что-то ошарашенной подруге и побежал вниз. Как я уже говорил, парадная, да, ПАРАДНАЯ, была с обратной от припаркованной машины стороны. Обойдя дом, я привел дыхание в норму и приготовился к битве. Я был худ, хил и беспомощен, но горд, безрассуден и жаден. На улице не было ни души, только ваш попкорный слуга и вор. Увидел он меня сразу, но копаться в багажнике не перестал, чем испортил настроение вконец. Я ожидал от него постыдного бегства. Ан нет. Приближаясь,

я думал, куда, а главное, как бить. В голове стучала мысль: «Возьми палку, Хон Гиль Дон хренов». Идея хорошая, но я бы сразу обозначил свои намерения, а так был шанс притвориться прохожим и неожиданно обрушиться на рейдера со всей яростью ограбляемого полуеврея. Когда до цели оставалось метров семь, преступник развернулся в мою сторону. В руках у него был пистолет.

Идея притвориться прохожим нравилась мне все больше, а вот «яростно обрушиться» – все меньше. Я невозмутимо прошел мимо налетчика, как будто всегда в это время суток и года прогуливаюсь по району в свитере и ботинках на босу ногу. Оставалось только спросить у товарища, как пройти в библиотеку. Глаза у гражданина были усталые, несчастные и пустые: бомж бомжом, но «Бог создал людей, а Кольт сделал их равными». Я понимал, что преступник – он такой же неудавшийся, как и вся его жизнь. Не менее очевидным было и то, что ствол – максимум пневматика, а может, и просто игрушка. Но стоило ли проверять это ради нищебродского содержимого моего багажника? Нет. Я прискакал обратно в квартиру и неистово встал (филологи, пардон муа) у окна, воришка как раз занялся бензином.

«Кинуть что ли в него томиком Чернышевского» – подумалось жертве насилия после разумного вопроса «Что делать?». Но тут на мое, воистину еврейское, счастье я увидел двух милиционеров, идущих с другой стороны кустарника, отделяющего парковку от аллеи. Чудо-чудное, диво-дивное. Истошным криком «машину грабят, ловите его» я включил свет в половине окон дома, но результата достиг. Двое с наручниками моментально продрались сквозь кусты и взяли преступника с поличным. Через минуту я присоединился к компании. Вора прижали к дереву, глаза его бешено вращались, рот скривился от готовности зарыдать.

– Твоя машина?

– Моя. Товарищ милиционер, у него пистолет!

– Пистолет! Ну все, б… Ты попал, это вооруженное ограбление, сядешь по полной.

– Я никому не угрожал! – заблажил подозреваемый.

– Угрожал? – обратился ко мне «злой полицейский».

– Вообще-то нет… – честно признался я. В глазах бомжа блеснула вера в человечество. «Добрый» милиционер обыскал преступника и достал из недр ватника пистолет.

– Это что???

– Пневматика…

– А если я тебе, сука, в глаз сейчас выстрелю?! – голос «злого» звучал убедительно.

– Значит, так, потерпевшему явно из-за тебя, козла, в отделении всю ночь сидеть неохота, нам ты тоже нахрен не нужен. Либо мы тебя сейчас в лесок отведем, отметелим так, что на морозе ты сам к утру коня двинешь, либо расскажи мне что-нибудь. – «Добрый» ткнул меня в бок и незаметно кивнул головой. «Злой» достал дубину и спросил у напарника:

– Есть чем рот заткнуть? Он же орать будет как свинья.

Бомж истерически залепетал:

– Мужики, да вы чего, да я ж только бензин слить хотел, чтоб бутылку купить, я пальцем никого не трогал!

«Злой» замахнулся дубинкой и рявкнул:

– Да тут у третьей машины за неделю бензин сливают. Заткни ему рот!

– Мужики, это я! Я во всем сознаюсь!

– С парнем, вон, договаривайся, пойдет он на тебя заяву писать?

Умоляющие глаза горе-преступника не оставили мне выбора.

– Поехали в отделение, дайте только документы возьму.

Через полчаса мы с клошаром сидели по разные стороны решетки в оживленном фойе местного отделения милиции. Еще через полчаса явился дознаватель и стал задавать различные неприятные вопросы, типа где я был в момент преступления, что делал и как все произошло. На вопросе «А чего ты в окно-то посмотрел?» я вдруг понял, почему так неуютно сидится. Презерватив был на мне… События развивались настолько стремительно, что мысли, точнее руки, до него не доходили. Зато теперь я только и делал что пытался понять, почему он не свалился и что будет, если свалится, когда я встану?

– Так, ладно, это не важно, давай составлять список украденного. Что было в багажнике?

– Кеды… – хмуро начал я перечисление своих сокровищ. – Футбольный мяч, домкрат, лопата, покрышка – вроде всё.

– Так, запишем… пытался украсть у Цыпкина Александра Евгеньевича кеды, футбольный мяч и т. д., чем нанес гражданину Цыпкину… так… ммм… значительный или незначительный ущерб?

Я был погружен в мрачные размышления о том, не начнется ли у меня на члене диатез от долгого сидения в презервативе.

– А как понять, значительный или нет?

– Ну не знаю… ты бы расстроился, если бы все это потерял?

– Да… Кеды хорошие… – пробурчал я, представляя, каково ЕМУ сейчас там в латексе.

– Очень бы расстроился?

– Очень.

– Так и запишем: «Нанес потерпевшему значительный ущерб».

Еще через час я был дома, подруга спала, а я изучал под лампой причину многих моих будущих, да и прошлых неприятностей. Еще через месяц меня пригласили в суд. За это время историю моего ограбления я рассказал друзьям, и парни с юрфака объяснили мне, что фраза «значительный ущерб» прибавила мужику пару лет к сроку. Не знаю, правда ли это, но чувствовал я себя Берией. Люди вагонами воруют, а тут из-за кед человека посадят.

На суде было многолюдно. Я уже не помню почему. То ли сразу несколько дел слушали, то ли мой преступник сознался во всех кражах в Петербурге, в общем, человек двадцать, не меньше, сидело

в зале. Очередь дошла до моего эпизода. Судья зачитал (понятно, что текст я помню приблизительно):

– Подсудимый такой-то украл у потерпевшего Цыпкина кеды, футбольный мяч, домкрат, лопату и автомобильную покрышку, чем нанес потерпевшему ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, – громко отчеканила судья, – ущерб.

В зале раздались злорадные смешки. Я стоял с «нашим знаменем цвета одного», понимая, что вот так антисемитизм и рождается.

– Товарищ судья, а можно поменять показания?

– В смысле?

– Нууу…. ущерб незначительный.

Снова гадкие смешки в зале. Я продолжил рдеть.

Что было дальше, память стерла, приняли мои изменения или нет, я не знаю. Надеюсь, приняли. Кеды в багажнике, кстати, так и остались. Они уехали вместе с мячом, домкратом и лопатой к новому владельцу машины, что, как вы понимаете, нанесло мне значительнейший ущерб.

Разве что из-за этого никто не сел в тюрьму. Принципиальная разница.

50 оттенков счастья

«Невский экспресс». Пассажир. Средний представитель Средней России, среднего возраста. Черно-синяя полосатая уставшая рубашка, живот 11-го месяца, запотевшие незлые глаза, бесформенные брюки, исхоженные ботинки. Скучает. Выпил коньяк. Веселее не стал. Вдруг ожил, заулыбался, неуклюже попыхтел за лежащим на полке портфелем. Триста раз извинился. С лицом мальчика, раскрывающего коробку под елкой, достал книжицу с закладкой из расчески. Рухнул в кресло. Надел расшатанные очки. Пухлые пальцы отворили страницы. Глаза зажглись. Мир вокруг погас.

Смотрю на обложку:

«50 оттенков серого».

Счастье так многообразно.

@atsypkin *Twitter. Лучшее из худшего*

Как может страна, в которой почти все через жопу, так рьяно бороться с пропагандой гомосексуализма?

В России отношение народа к правителю проходит пять обязательных стадий:

1. Недоверие.

2. Подобострастие.

3. Разочарование.

4. Презрение.

5. Ностальгия.

Заговор – это ребенок, у которого родители власть и заговорщики. Генетика должна быть мощная с обеих сторон, чтобы на свет появился талант.

Некоторые люди боятся смерти не потому, что придется за все отвечать, а потому, что выяснится, что и ответить толком не за что.

А что-то есть символичное в том, что немецкий город, завоеванный у немцев большевиками, назван в честь большевика, которого спонсировали немцы.

Нарочитая и неуместная демонстрация эрудиции сродни ситуации, когда девушка загорает на даче накрашенная, в бриллиантах и на шпильках.

Когда человек гордо заявляет «я не продаюсь!», это некий выход его постоянного внутреннего вопроса «почему же меня никто не покупает?!».

Лучше долго искать «своего», чем все это время переделывать «чужого», который для кого-то может стать «своим» без всяких кастраций и тюнингов.

Интересно, сколько раз в истории фраза «Хочу побыть один/одна» НЕ означала «Хочу побыть не с тобой»?

Женщины непреклонного возраста

Кимченыра

Часть первая. Позор

Моя подруга Ира пошла договариваться об устройстве сына-оболтуса в вуз. ЕГЭ егой, но там какие-то еще собеседования надо было проходить и невыдавленный советский опыт подбросил мамаше идею сходить на прием к начальнику. Ректор был заранее предупрежден о ее визите, обещал помочь «на отношениях», то есть обычным питерским взаимозачетом: я вашего сына в институт, вы племянника Петра Сидорыча без очереди в загс на Английской, Петр Сидорыч моего дядюшку, опять же без очереди, на кладбище. Денег никто не видит, но тело движется.

Тем не менее люди мы интеллигентные и всегда берем с собой уважительную бутылку.

Подруга моя тоже дама приличная и пришла к ученому с коньяком в неимоверно пафосной коробке. Ректор был в прекрасном расположении тела и духа, пригласил заботливую мать в маленький кабинет за большим кабинетом, накрыл фуршет, скакал ланью, шутил и абстрактно надеялся. Ира отрабатывала визит, смеялась и поправляла волосы.

Ученый восторгался подарком, говорил, что это его любимая марка, сокрушался из-за «совершенно необязательных» расходов. Гостья кокетничала, рассказывала, как зашла сейчас в магазин и полчаса искала именно этот коньяк. Профессор предложил, не откладывая, распить подношение, суетливо раскрыл коробку, продолжая трещать как снегирь, достал изящную бутылку и замер.

Ира стала похожа на сливу и хотела одного: провалиться сквозь пол, подвал, землю, магму, ядро земли и далее до горизонта событий.

Бутылка была, как говорят оптимисты, наполовину полная.

Джентльмен не растерялся и добродушно пошутил:

– А ректор какого вуза выпил первую половину?

Ира заплакала. Она не плакала давно. Ни в кино, ни от дикой усталости, ни от зубной боли, но тут не выдержала. Было очень обидно. Отмечу, что моя подруга – образец порядочности, особенно в вопросах благодарности. Да, она зачем-то соврала, что зашла в магазин, хотя взяла бутылку дома в ящике, где хранились годные к передариванию коробочки, но это был ее единственный грех.

Увидев женские слезы, ученый бросился успокаивать несчастную мать, налил чертов коньяк, выпил сам, извинился, налил Ире – она еще сильнее разрыдалась, извинился снова, успокаивал, предлагал воду, говорил, что все это пустяки и, мол, бывает. В общем, достойный человек. Более того, он заверил мать, что сделает для сына все, что в его силах.

Ира попросила разрешения забрать коньяк с собой, чтобы он не напоминал о позоре и, испугав приемную заплаканным лицом, покинула храм науки. Цель прихода, кстати, была выполнена. Но…

Как виноград неизбежно становится вином, так и женские слезы обязательно обращаются в ярость.

Кто-то должен быть казнен. Ира послала мужу и сыну смс следующего содержания:

«Есть серьезный разговор. Всем быть дома в восемь».

Часть вторая. Суд

Надо сказать, что моя подруга – живое воплощение классического афоризма: «В нашем доме все решает папа, а кто папа – решает мама». Причем муж ее отнюдь не коала, но все равно в правах ограничен. А вот дети (по-моему, 13 и 16) – так те совсем строевые, дышат по расписанию. При этом Ира, разумеется, считает себя мягким человеком с прекрасным характером и очень обижается, когда ее называют Кимченыра.

В восемь вечера Ира в обществе коньяка вернулась с работы домой. Шесть тревожных глаз встретили ее в прихожей. Шесть дрожащих рук пытались помочь снять пальто. По-мужски себя вела только кошка Дуня. Ее единственную и наградили теплым взглядом и хоть каким-то словом.

Далее без предварительных ласк состоялся суд.

Ира, по старой российской традиции, одновременно выступала в роли прокурора, судьи, адвоката, следователя, свидетеля и палача. Дуня – секретарь суда. Муж, сын и сын – обвиняемые.

В начале разбирательства мать сообщила об абсолютной бессмысленности существования всех троих мужчин в ЕЕ доме. Все тянет она, никто ни хрена не делает и ни о чем не думает. Все абсолютные эгоисты и беспомощные бездельники. Кстати, Ирин муж – врач с именем и совсем не бедствует. Но это так, для справки.

Отец семейства, привыкший к статусу «вечно виновного», спокойно прослушав прелюдию, поинтересовался:

– Ир, случилось-то что?

– Случилось что?!

Ира достала бутылку и, прожигая взглядом воздух, спросила:

– Кто это сделал?!

Далее последовало повествование об утреннем позоре.

– Мам, а я что, теперь поступаю в NN университет??? – удивлено пролепетал виновник торжества. О планах на свое будущее он, как и всегда, впрочем, узнал последним.

– Да, поступаешь! – рявкнула Ира. – Если ты, бестолочь, хоть что-нибудь сдашь!

У парня имелась другая мечта, но возражать сейчас было бессмысленно, и он загрустил еще сильнее.

– Итак, кто выпил коньяк?

– Я не пил, можно я пойду? – облегченно выдохнул младший.

– Может, в субботу к брату друзья приходили, а? – Малюта Скуратов в юбке знал, кого спрашивать и о чем. В выходные дети оставались дома одни.

В комнате запахло потенциальным предательством.

Папаша, поведавший мне эту историю, сказал, что в тот момент особенно напрягся, переживая, достойного ли сына он воспитал. В выходные дома, естественно, была тусовка. Он ее диагностировал по окуркам на балконе.

Младший молчал.

Однажды брат в компании друзей связал ему ноги, посадил на бюст Лермонтова, если не ошибаюсь, в Александровском саду, и устроил фотосессию. В другой раз та же компания сбросила из окна на голову парню презерватив, наполненный водой… И это были еще добрые шалости.

– Я спрашиваю, что было дома на выходных? – Гаррота маминого взгляда неотвратимо затягивалась.

Младший молчал.

Дважды его сменная обувь была склеена «Моментом» и один раз отобраны лыжные палки прямо на горе.

– Ты что, оглох?!

– Я пытаюсь вспомнить.

Старший не выдержал:

– Да, ко мне приходили друзья, но честное слово, мы не трогали коньяк!

– Что ты врешь?! – Око Саурона поменяло объект испепеления.

– Мы коньяк не пьем! – фальцетил подследственный. – Как его вообще можно пить…

Врач успокоился, детей он воспитал хороших.

А вот Ира готова была взорваться миллиардом осколков. К проблеме выпитого коньяка прибавились несанкционированная тусовка и пьющий сын-школьник.

– Надеюсь, ты меня не подозреваешь? Я бы чаем разбавил, чтобы улик не оставлять, – усмехнулся опытный глава семьи. Младший наверняка его слова потом записал. – А коньяк Валера на Новый год подарил, давай я ему позвоню.

Валеру коньячный вопрос огорчил не меньше, чем Иру:

– Так это я ТЕБЕ! подарил!!!.. Мы уже целую неделю с женой мучаемся. Она тут спрашивает: «А где мой коньяк?» Я говорю: «Что значит твой??? Я его кому-то на Новый год подарил, а что? Он же в коробке стоял!» Она мычит: «Я его вечером по чуть-чуть пью». Я в крик: «А из коробки почему не вытащила, дура!?» И вот деревня, прикинь, чего говорит: «Коробка такая красивая, я не смогла ее выбросить». Прости ради Бога, новая с меня.

Врач поведал об этом Ире. В ответ она озвучила универсальную женскую позицию:

– Друзья у тебя идиоты, жены у них дуры и ты, болван, не мог проверить, что тебе дарят.

Мысль о том, что она сама не проверила, что дарит, в голову ей не пришла.

Но она девочка, ей все можно.

P. S. А вот старший брат, говорят, младшего зауважал. Об этом и история.

Вербовка

Приходит ко мне на собеседование девушка.

Уже шестая за день (не знаю уж, почему резюме мужчин HR-менеджер не нашел). Я мрачен, недоволен и спесив. Они мне все не нравятся, независимо от резюме, профессиональных качеств и длины юбки, так как накануне в другом проекте меня поставили перед строем коллег и под бурные продолжительные аплодисменты отменно выпороли за незначительный, по моему мнению, провал. Понятно, что наказания я не боюсь, а вот друзей по работе эндорфинить не люблю.

Итак, зашла. Все в ней не так. Даже исключительная молодость и цвет глаз. А еще – какая наглость – слушает в плеере что-то. Пока она убирает наушники, интересуюсь:

– Что слушаем?

– Depeche Mode.

Я моментально забыл злорадостных коллег, полюбил цвет глаз, вчитался в резюме и вообще принял облик Матери Терезы на исповеди. Надо сказать, что тогда о моей музыкальной страсти особо никто не знал, и каждую родственную душу я встречал с распростертыми объятиями.

– Какой альбом?

– Я как-то старое люблю, то, что до ухода Уайлдера, – мои чакры звенят. – Так что сейчас «Music for the masses» слушаю, а вы любите Депеш?

У меня открылись даже запасные чакры, и фонтан вселенской любви залил переговорную. Далее состоялась подробная беседа об обожаемой группе. Я узнал много нового о раннем Горе, о дизайне обложек альбомов, необычных ремиксах и т. д. Только кивать успевал. Затем было короткое, но очень интенсивное интервью. Девушка не то чтобы оказалась сильнее других, но не слабее точно. В общем, нужно было принимать профессиональное решение, но я понимал, что нельзя руководствоваться только музыкальными вкусами.

– Что-нибудь еще хотите сказать?

– Я быстро учусь и у меня хорошая память.

– Есть доказательства?

– Думаю, да, – еле уловимое движение уголков рта напомнило разбивающуюся чашку из Usual Suspects. – Я была год назад на лекции, где вы рассказывали, как нужно вербовать человека, изучать его вкусы, привычки и как находить о нем информацию.

Чакры мои начали отчетливо понимать, что хозяина только что раздели и выставили на площадь, а он не заметил толпу, думая, что стоит один у себя в комнате.

– Так вот еще вчера днем я НИЧЕГО не знала про Depeche Mode. Но у меня была целая ночь впереди.

Как она на меня посмотрела! С чувством полной и не подлежащей реваншу победы. Пожалуй, этот чересчур испепеляющий взгляд был ее единственной дипломатической ошибкой, но зато выдал наличие человека в женщине, что мне всегда ценно, особенно в работе.

Взял. За исключительную память и умение находить нужную информацию. Повторюсь, в то время ни татуировки «Never let me down again», ни концертных фотографий на моих страницах в социальных сетях у меня не было. То есть реально о моей одержимости узнать можно было, только как следует покопавшись в немногочисленных интервью или допросив кого-то из моего окружения.

Как выяснилось потом, для получения нужных данных был завербован один мой наивный товарищ. И всего делов-то: общие друзья, небольшая переписка, кофе ОДИН раз. Насчет человека в женщине я ошибся все-таки.

Подруги

Женщина о женщине: «Ира далеко не дура, несмотря на внешность».

Лучшую подругу девушки легко определить по комментарию к ее новому аватару: «Красотка! Не узнать!!!»

Не так давно мои друзья отметили 20 лет свадьбы. Предприятие, надо сказать, рискованное. Другая пара из моего окружения, помнится, решила отметить более скромный юбилей. Они долго спорили о формате праздника, гостях, расходах, не хотели друг другу уступать, ругались, ссорились и в итоге развелись с жутким скандалом и судами.

Герои этого повествования оказались более удачливыми и, дай Бог, дотянут до золотого юбилея. По прошествии праздничного мероприятия муж рассказал мне чудесную опереточную историю. Она, конечно, больше о специфике женской дружбы, но и о моем приятеле тоже многое говорит.

Итак. Лет пять назад и без того не очень бурное море любви моих друзей К. (Муж) и Н. (Жена) стало заболачиваться. Пятнадцать лет вместе, полная тоска и уныние. Жена начала сомневаться в своей привлекательности. Муж необдуманно отмечал привлекательность других женщин. Однако, либо К. на самом деле был на редкость целомудренным, либо просто мудрым организатором. Но, кроме периодических комментариев в адрес какой-нибудь мисс мира,

поводов для ревности супруге не давал. В итоге даже это единственное развлечение в долгом браке оказалось ей недоступно. Никаких страданий. Как назло, некоторые подруги начали планово разводиться, и их жизнь наполнилась яркими событиями.

Разумеется, нашлись и те, кто с особым цинизмом рассказывали тоскующей Н. о своих новых романах и заоблачном сексе. Правда, у этих героинь сериала дальше примитивных интрижек и весьма облачного секса (если смотреть на него трезво) дело не шло. Они либо оставались одни, либо возвращались к мужьям, которые иногда даже не замечали их отсутствия, так как футбол из телевизора не исчезал, а холодильник кое-как наполнялся самостоятельно. Тем не менее кое-кто из подруг все равно умудрялся и после подобных провалов доказывать Н. эмоциональную бессмысленность ее существования. «Но главное – дети, а ты прекрасная мама» – такой участливой фразой очередная «яркоживущая» заканчивала свою лекцию.

Естественно, среди подруг были и счастливые жены, и героини действительно шекспировских любовных историй, и те, кто вел легкую свободную жизнь, полную безответственных оргазмов, но они почему-то не лезли со своими рассказами и поучениями. Просто не считали, что их жизнь хуже, чем у Н. А «лекторши» считали и заткнуться не могли.

В итоге Н. загрустила. И вдруг ей на работу (она трудилась тогда на одном из телеканалов) приносят цветы и открытку с подписью: «Дмитрий (театр)». В открытке стихотворение. Неплохое. Кто этот Дмитрий, Н. не представляла. В театре была за последнее время несколько раз, но вроде бы ни с кем не знакомилась. Через пару недель – новый букет и новое стихотворение. Обратного адреса нет, редакция жужжит, эндорфины бурлят. Н. понимала, что вовсе не хочет знать имя отправителя, так как не представляла, что делать со свалившимся на ее голову поклонником. Тем не менее профилактический эффект был налицо. Искры в глазах, взятые штурмом бутики, новая прическа и вернувшаяся уверенность в своей неотразимости. Муж тоже оживился, срочно соорудил отпуск, пригласил супругу в театр и т. д. Букеты Н. домой не приносила, но ауру же на работе не оставишь. Такие перемены в жене любой заметит. Не проинформировать о происходящем «яркоживущих» подруг Н. не могла. Они искренне, до боли в ботоксе, радовались за нее. Каждая строчка стихов поклонника отзывалась в их организме будущими заболеваниями нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Тяжелый стресс, вызванный счастьем близкого человека, приходилось заедать чуть ли не прозаком. Особенно жестокими были рифмы про естественную красоту и женственность форм, в сравнении с бесполыми бамбуковыми удочками современных глянцевых героинь. В общем, пережить наличие у кого-то сразу и мужа и романтического поклонника не представлялось возможным. Надо было действовать.

Одна из подруг приехала к К. на работу и сообщила, что хочет спасти их брак, так как переживает за обоих и считает своим долгом предотвратить трагедию.

С искренней яростью во взгляде трижды разведенная хранительница семейного очага зачитала К. стихотворение и добавила:

– Стихи, конечно, ужасные, но любой женщине получить их все равно приятно. Я знаю, как ты ее любишь, и уверена, что она любит тебя. Иногда, знаешь, случается затмение… но никакое затмение не стоит настоящей семьи.

– Завидуешь? – посмотрев ей в глаза, улыбнулся К. – Понимаю.

«Подруга, такая подруга» вспыхнула, развернулась и в негодовании удалилась.

Вечером К. подошел к жене, прочитал по памяти строчки из «доноса» и, обняв остекленевшую от ужаса Н, добавил:

– А мне казалось, стихи хорошие, обидно даже. Хотя, может, и правда, поэт я так себе.

– А почему «Дмитрий» и «театр»??? – задала вопрос восхищенная Н.

– Мы познакомились в театре, и я тебе прочел Мережковского.

P. S. Узнав о финале истории, подруга не изменила себе, холодно отметив: «Да точно у него роман с кем-то, раз стихи тебе пишет, вину чувствует, сволочь».

Порядочный человек

История, рассказанная женщиной в состоянии ярости

Пару лет назад моя подруга С. завела роман с женатым человеком Д.

Понимаю, что сейчас многие читательницы осуждающе покачали головой, но здесь точно не товарищеский суд, и еще я про помню что-то из античного «кто без греха» и т. д.

Ну и как сказала мне однажды мудрая женщина: «Измена – это не очень хорошо, но, уж если изменяешь, веди себя как мужик». Вот об этом и история.

Обстоятельства дела следующие.

Д.: Женат с юности, в браке уже лет десять, двое детей, достижения в профессии средние, жену опасается, романтичен, начитан, не Брэд Питт. Живет в Петербурге.

С.: Только что разошлась с мужем. Умна, красива, с жестоким чувством юмора, 105–70–90, карьеристка, современна в пределах разумного. Не очень верила в любовь. Порядочна. Живет в Москве.

Встретились они случайно на какой-то конференции. Все как обычно: вечернее мероприятие, много шампанского, предложение подготовиться в номере к следующему дню деловой программы.

Как мы уже знаем, Д. не красавец, а С. и правда хороша, особенно выпуклой фигурой. В общем поплыл товарищ конкретно. И вдруг в момент, когда платье уже снято, а остальное нет, звонит его телефон.

На экране определение «любовь моя». Пошлость, с учетом обстоятельств, жуткая, но тем не менее. Подруга говорит: «Если надо, ответь, я помолчу».

С перекошенным лицом Д. берет трубку, уходит в ванную. Возвращается мрачнее тучи.

«Она просит прислать видео номера?»

Отмечу, что компания Д. щедростью не отличалась и номер был такого размера, что как его ни снимай, человека там не спрячешь.

«А зачем ей видео номера в отеле???»

«Ну я стал рассказывать про конференцию, отель, и как-то само получилось. Мы часто видео друг другу шлем».

Д. было жалко, но он почему-то молчал и ничего не предлагал. Подруга моя, девушка решительная и язва редкая, не могла такую ситуацию пропустить:

«Ты мне предлагаешь спрятаться под кровать или в шкаф, извини, но в шкаф не влезет моя грудь?»

Д. чуть не плакал, но, собравшись с силами, выпалил:

«А ты можешь ненадолго выйти из номера?»

Обалдев от такой прямоты, С. оделась и вышла, как ей казалось, навсегда.

Д. ничтоже сумняшеся через пятнадцать минут начал написывать, дескать вернись. С. ответила, что романтическое настроение у нее закончилось.

Далее началась осада Ля Рошели. Бесконечные смсы, романтические песни, сердцедробительные стихи, свои и чужие. И, разумеется, извинения. Целыми днями, но только с 9:00 до 20:00. Далее в call центр, как понятно, приходил менеджер.

Через пару недель у Д. образовалась командировка в столицу. Он явился прямо в офис к С. и выступил с речью. Тут надо отдать должное таланту нашего героя. Писал и говорил Д. прекрасно. Ознакомившись с несколькими абзацами, отмечу, что Станиславский ему поверил бы. Врать о любви ради секса – такая нижайшая низость, что С., конечно, не могла заподозрить петербургского аристократа в такой омерзительной манипуляции и тоже поверила. С другой стороны, выяснить, все ли так, как пишет товарищ, хотелось немедленно, а не через месяц. То есть сразу по двум причинам секс был неизбежен.

Честь петербуржца Д. не уронил. Сразу после оргазма он дословно повторил то, что написал за две недели. А все что сказал мужчина, эти десять – пятнадцать минут, когда нам не до секса и женщина теряет временно власть на нашими инстинктами, и есть правда. Кстати, Д. повезло. Жену и любовницу звали одинаково и не возникало этих «заек» и «котиков», которые обычно не более, чем способ не запутаться в именах.

В общем ситуация значительно ухудшилась. Д. действительно влюбился. С. сразу определила границы общения. Короткий бурный роман без угрозы семье. Д. радостно согласился, но огорчился отсутствию романтики в его возлюбленной.

Стихи и песни тем не менее не заканчивались, тексты смс пестрили «никогда до этого», «впервые такое» и т. д.

В Москву, правда, бережливый Д. приезжал только за счет компании, и в тот единственный раз, когда купил билеты сам, сразу же гордо заявил об этом, упомянув цену. Подруга моя жалеть парня не стала:

«Сам билеты купил? Это поступок. Поехали тогда сразу домой, отбить же расходы надо».

Она никогда ничего не требовала от мужчин, но ненавидела скупость и мелочность.

Д. обиделся и пятнадцать минут не разговаривал с «лучом света, мерцающим в его небе» (цитата).

Были еще кое-какие поступочки, свидетельствующие о дефиците мужских качеств у петербургского товарища, но С. закрывала на них глаза. Крестить детей с ним она не собиралась. Однако следующий экзерсис пропустить не смогла.

На 14 февраля один из поклонников подарил С. роскошный букет, занявший всю ее квартиру. Д. увидел его по скайпу и устроил сцену ревности, чем немало озадачил предельно логичную С.

«Начнем с того, то ты мне цветы не даришь».

«Я не могу».

«Почему, стесняюсь спросить?»

«У нас с женой общие счета, и она увидит, что я кому-то купил букет. Не хочу ее расстраивать и причинять боль».

С. была готова расплакаться от умиления. Какой все-таки хороший мужик. Спорить с такой аргументацией не представлялось возможным.

«Хорошо, допустим наличные тоже проблема, но, прости, почему мне мужчина не может подарить цветы?»

«Мне кажется, это небольшое предательство нашей любви».

С. прослезилась еще раз. Не только хороший, но еще и романтический, с принципами. Редкость сегодня.

«Прости, а ты спишь со своей женой?»

«Это неизбежная жертва, но в остальном я тебе верен».

Каждый тезис говорил о бесконечной интеллигентности истинного петербуржца и его гранитной силе воли.

«А как ты себе дальше все представляешь? Мне не хочется тебя огорчать, но я планирую тоже когда-то выйти замуж, а разрушения твоей семьи не хочу».

«Я понимаю, но подумай о моих чувствах, мне больно это слышать… когда это случится, я просто уйду из твоей жизни».

Гвозди из таких людей нужно делать.

Беседа отрезвила С. Роман нужно было завязывать, хотя, конечно, в нем было много действительно прекрасного и даже редкого. Д. был удивительно чувствительным человеком. Он проникал в самые дальние комнаты женской души, вытаскивал из С. детские мечты, писал именно те слова, которые девушка хотела услышать, обожаемого С. Маяковского Д. знал наизусть, посылал песни, которые в юности С. слушала и плакала от одиночества, убеждал С. в ее исключительности, неповторимости, бесконечной женственности, и, главное, она была желанна как никогда. Усугублялось все тем, что Д. говорил правду. Он так чувствовал.

С. простила и ситуацию с цветами, но случилась неприятность. Д. потерял концентрацию и оставил включенным компьютер с неотправленным С. очередным романтическим признанием. И надо же таким быть лузером, что именно в этом письме наш романтик написал о беспросветности и серости своей семейной жизни, особенно ее сексуальной составляющей. Жена взорвалась.

«Сань, я ее понимаю, измены моего первого мужа меня конечно расстраивали, но я знала, что для него это просто развлечение, поиск обожания, которого я не давала, а любит и боготворит он меня. Может, даже больше, чем я хотела».

Состоялся семейный разговор. У Д. хватило мозгов уйти в глубокую несознанку насчет масштаба адюльтера. Врать, как оказалось, он умел, да и в письме не было прямой фактуры. Д. жаловался на жену, при этом про детали отношения с С. не написал. Не знаю уж поверила ли Д. жена, но, с поездками в Москву, очевидно, нужно было завязывать.

С. решила, что это знак, и предложила все закончить.

Д. опять отличился. Написал полное драматизма письмо и попросил С. приехать в Петербург. Билеты, правда, не прислал и про отель тоже не заикнулся.

Но это уже было для С. не важно. Она понимала, что дальше будет только хуже. Д. не сдавался, но ничего конкретного не писал, а начал тупо жаловаться С. на жизнь несчастного человека, который любит одну женщину, а живет с другой.

Еще один забавный момент. Жена не очень любила ряд эротических изысков Д., и он все время нервничал и путался, что и в какой постели ему можно. С. регулярно успокаивала его: «Ты не дома, продолжай».

Однако Д. злоупотребил милосердием и пониманием.

«Я не знаю, что мне делать, и дело даже не в тебе, мне кажется, я и правда не люблю свою жену, помоги мне сейчас советом как друг».

«Прости, ты хочешь, чтобы я за тебя это решила?»

Ярость в С. стала замещать любые чувства.

«Ты хочешь, чтобы я ушел из семьи?» – пытаясь снять с себя ответственность, причитал Д.

«Нет! Я хочу, чтобы мы с тобой закончили отношения, а ты сам решил, любишь ли жену. Мне больно всё это. Понимаешь?! Больно!»

«Значит, хочешь, чтобы я ушел… понятно, но пойми, я ее десять лет знаю, а с тобой мы виделись раз десять– пятнадцать, я не могу принимать такие безответственные и жестокие решения. Я все-таки порядочный человек».

Когда С. процитировала этот шедевр, я понял, что такого мне не удалось бы придумать никогда. Таланта не хватило бы.

Я вспомнил Простоквашино: «Тебя я давно знаю, а этого кота первый раз вижу». Оказалось, и это из жизни.

«Знаешь, я его разлюбила именно в этот момент и даже рада. Очень сложно, когда ты теряешь и правда достойного человека, которого и разлюбить-то не за что. Я просто повесила трубку».

Д. написал еще несколько слезных посланий, в основном обвиняя С. в эгоизме и нежелании бороться за свою любовь. Часть многобуквенных писем заканчивалась неповторимым «Эх ты…». Решений он не предлагал, но тексты были душераздирающие.

«Почему ты не могла просто написать ему, что ты его разлюбила?»

«Не знаю… переживала за него… не хотела причинять боль, и так ему было плохо».

Неисповедима жалость женская, хотя вот кого-кого, а мужчин жалеть никогда не надо. Мы как-нибудь сами справимся, мне кажется.

Через месяц Д. перестал писать. Приехать в Москву на разговор он так и не удосужился.

Прислал песню «Come back when you can». С. остроумно ответила:

«Надоело быть Кеном, хотелось бы наконец пожить Барби, Сань, а вы в Питере все такие порядочные?»

«Нее, бывают беспорядочные, и они, кстати, более порядочные, так как слухи об их низком поведении гораздо быстрее бы распространились, а репутация для них – всё».

Яхтенная жертва

Бухты Сардинии напомнили мне одну сюрреалистичную историю, рассказанную «человеком из яхт-клуба» уездного города N. Уж не знаю, правдива ли она, но очень на это похоже. Разумеется, она про секс, хотя чуть не кончилась трагедией.

Ну, начнем с того, что, как оказалось, больше половины модных яхт (под яхтами понимаем не фрегат с парусом, а пентхаус с мотором) не покидают стоянки вообще. Их используют в качестве смазки. Все как положено. Очередной сластолюбец везет юную, ничего, естественно, не подозревающую нимфу кататься. Показывает плавучие хоромы. Нимфа сразу возбуждается, не может себя сдержать, жаждет отдаться, мужчина колеблется (он ведь не такой, он весь «про море»), но из вежливости соглашается, а потом наступает типичная мужская посторгазменная лень или жадность «до топливу». Кататься никто никуда уже не едет, нимфу обещают развлечь в следующий раз, так как неожиданно в субботу вечером нужно срочно ехать покупать нефтепровод. И так каждый раз. Нимфы только успевали меняться и ставить галочку «была на яхте».

И вот в одном из таких или похожих сценариев произошел сбой.

Проводя очередную экскурсию, владелец яхты увидел, как к причалу подъехала его жена и яростно затопала к лодке. Какая неожиданная, прямо-таки космическая, связь двух любящих сердец. Оба решили вдруг покататься. Выход с яхты один, а выкидывать нимфу по-разински за борт шумно и уголовно наказуемо. Дело ароматизирует разводом и, как мы все знаем из лайфньюз, половиной имущества. Но нашего мужика попробуй поставь в тупик! Размеры судна позволили запихнуть девушку в машинное отделение.

На яхте начался обыск. План-перехват результатов не дал. Жена грозно спросила, какого, собственно, черта муж приперся на лодку. Мол, она СЛУЧАЙНО увидела его машину и поехала

за ним. Тот резонно сообщил, что думал покататься, зря что ли Икс денег отгрузил. Жена, пребывавшая в состоянии неопределенности, то ли радоваться верности супруга, то ли грустить о впустую потраченном времени, прокатиться согласилась.

Согласие поставило мужа в тупик. Он-то кататься точно не собирался, а с нимфой в машинном отделении – тем более. Яхтсмен, хоть и не яхтсмен, но понимал, что через полчаса его подруга окажется в душегубке, и хрен знает, как себя поведет. Однако иного выхода не оставалось. Романтическая прогулка началась. Надо отдать должное заботливости товарища. Он затеял управляемый семейный скандал, и поездка закончилась очень быстро.

Жена спешно покинула лодку и укатила домой. Муж рванул в машинное отделение. Подруга была жива, но изрядно красна. Она так пеклась о семейных ценностях своего ухажера, что чуть не спеклась вовсе, но голоса не подала. Такая стойкость была вознаграждена очень дорогим подарком, вывозом на шопинг и другими вариациями мужского внимания. По рассказу очевидца, мужик был прощен и приголублен. Опять же говорят, что подруги героини высказывали готовность посидеть в духовке и за меньшие блага. Я вот, кстати, думаю, если это и правда, то сидела нимфа не из страха или корысти, а реально, чтобы любовника не сдать. Редкий дар русских женщин: быть настоящим мужиком, когда выхода не остается.

Тетушка

Занесла отпускная нелегкая в мальдивский кибуц. Кризис уже начался, и соотечественников было немного. Примечательной оказалась одна пара. Назовем их Дама + Тётушка. Обе – дородные женщины к шестидесяти, связанные, я так понял, давней дружбой. Дама завсегдатай подобных мест, а Тетушка – впервые. Думаю, что она была приглашена на море приятельницей.

Обе добродушные, спокойные, похожие даже чертами лица, но все-таки разные. Тетушка напомнила мне бабушку из советских детских фильмов. Ласковые глаза, мягкие руки, немного утиная походка. Органичнее всего она выглядела бы с тарелкой манной каши в руках или со школьным ранцем, собранным для внука. Ну а Дама… что тут скажешь, российская Бриджит Бардо.

И вот завтрак. Мы за соседними столиками.

Они обсуждают фрукты и гостей. Недалеко сидит пара… ну этих… ну как бы повежливее… ну тех, чьи сердца один бывший российский священник настоятельно рекомендовал сжигать. Выглядят обычными мужиками, без всякого вычурного изыска. На улице встретишь поодиночке и не подумаешь плохого.

Тетушка смотрит на них, любуется, и видно, как воспоминания юности катятся волной по ее светлому лицу.

– Танечка, какие красивые мужчины вон там сидят. Одиноко им, наверное, здесь, девушки-то все с парами.

– Люсь, ты чего?! ИМ не одиноко, за руки вчера держались в баре, – со знанием жизни ответила Дама.

Я ожидал от Тетушки какой угодно реакции: презрения, удивления, брезгливости, возмущения, равнодушия, но…

Лицо ее залило сочувствие, как будто внучок заболел сильно или его выгнали из школы. Она тепло посмотрела на вполне счастливых гейропейцев и со всей безысходной славянской тоской в голосе произнесла:

– Горе-то какое…

Нокаут

Тусовка. Я растекаюсь от тщеславия: в узком кругу началось обсуждение моих фривольных россказней. Постепенно беседа перешла от восхваления меня к осуждению нравов нынешнего поколения. Я расстроился, но разговор поддержал. Речь зашла о чрезмерно раннем вступлении в сексуальную жизнь. Одна из участниц столь разумно отстаивала свою позицию (я уже не помню, кстати, какую), что я начал проигрывать. В качестве крайней меры решил прибегнуть к дешевому эпатажу. Думал, хоть время выиграю. Глядя прямо в глаза незнакомой мне доселе женщине и раздуваясь от наглости, спрашиваю:

– Ну хорошо, а вот вы во сколько лишились девственности?

– В десять вечера.

Одинокая эротика

В спортзале на беговую дорожку пришла принцесса с выпуклой фигурой и в футболке на голое тело. Красивая. Без вариантов. Побежала. Бедный мужик на соседней дорожке так усердно кивал в такт, что в итоге потерял равновесие и навернулся с диким грохотом.

Девушка продолжала бежать, так как была в наушниках. Да и, судя по тюнингу, звук падающих мужчин был привычным аккомпанементом в ее жизни. Я еще раз поблагодарил Всевышнего за богатый жизненный опыт и решение свалить на велосипед прежде аналогичного исхода. Из моей «ВИП-ложи» взлетающие соски были не видны, и я со спокойной душой (и телом) проехал свои километры. Надо отметить, что остальные любители истового забега тоже сошли с дистанции достаточно быстро, и в итоге спасательница Малибу осталась одна. Она тут же переместилась на тренажеры и села качать внутреннюю поверхность бедра.

Покалеченный бегун плюнул, рванул от груди максимальный вес и дезертировал. Потом узнал у ее тренерши, в чем проблема. Девушка замужем. Секса нет уже полгода, ну точнее есть, но раз в месяц. Плачет, что муж ее не хочет. Стала бояться, что такого же мнения остальные мужчины. Вот так.

Пленных не брать

По дороге в Милан встретил в аэрпорту подругу, скромную, начитанную Кафкой, далекую, как мне казалось, от гламурных ценностей:

– Ты чего в Милан?

– Шопинг.

– Значит, без багажа?

– Нее, у меня чемодан.

– А в нем что???

Краснея и запинаясь, как будто списала на экзамене:

– А в нем… еще один.

Я за нее порадовался. Не безнадежна.

Лень

Моя знакомая получила имейл от своего разового любовника: «Ты – лучший секс этого года». Мало того, что этот олух по невнимательности список получателей из восьми адресов открыл, так в нем еще и мужчина какой-то обнаружился. Распустили, конечно, мужчин.

Племяш – наш, или Куда приводят звонки

Это притча о связях и их роли в жизни отдельного российского человека. Ну и о женщине, разумеется.

Рассказано моим другом лично, с его слов записано верно.

Итак, есть у меня младший товарищ, с которым я иногда делюсь неимоверным жизненным опытом. По натуре мой друг аферист, причем очень талантливый, но приличные еврейские родители приделали к его голове радиатор и регулярно заливают туда тосол. В результате охлаждения мозгов аферы у парня получаются не очень опасные, а в свободное от обувания доверчивых граждан время он даже сделал неплохую для двадцати четырех лет карьеру в медийной отрасли.

Зовут героя Яша Кац, и фамилия вытатуирована на его физиономии как принадлежность к КГБ на лике сами знаете кого.

Выше я уже отметил, что у Яши есть родители. Папа-математик и мама-красавица. Глаз не оторвать. Также от Марии Яковлевны не оторвать и разнообразных мужчин, стремящихся постонать одним с ней воздухом или хотя бы подышать им.

Недавно среди страждущих неожиданно обнаружился генерал. Настоящий. Настолько, что лампасы и погоны проступали сквозь ткань изысканных костюмов. В общем, генерал с возможностями и со вкусом. Звали старого чекиста подобающе – Петр Сергеевич Березин.

Он сразу пошел на штурм Марии Яковлевны, но его облили кипящей смолой еще на подступах к крепости. Оценив потери, он предложил искреннюю дружбу.

Яшина мама сообщила, что дружить им не о чем, но если он настаивает, то может дружить с сыном и быть ему полезным.

Госпожа Кац поступила как еврейская мама, генерал Березин – как русский офицер. Он мгновенно взял Яшу под крыло, причем не из надежды на доступ к телу, а потому что дама попросила.

Раз в два месяца генерал приглашал юное дарование на беседу, спрашивал, все ли хорошо, и учил уму-разуму. Накануне очередного рандеву юному аферисту засветило увольнение на почве личной неприязни, возникшей между ним и одним из «топов». Работал Яша в Москве

и «поуехать» не собирался. Об этой ситуации он и доложил своему покровителю на встрече, проходившей на этот раз в лобби петербургского отеля NN.

Петр Сергеевич задумался. В этот момент случилось чудо. По отелю катилась сфера, в дорогом темном костюме, при двух телефонах, в сопровождении пары кубов в дешевых темных костюмах, при наушниках и оружии.

Петр Сергеевич просиял и рявкнул на все лобби:

– Моня! Стой, старая сволочь!

Сфера остановилась и дала полный назад.

– Петюня!

Выдающийся нос уткнулся в солнечное сплетение генерала Березина. Кубы отошли на два метра.

– Ну что, все спекулируем?

– Так ловить-то некому.

– Знакомься, мой племянник, Яша. Яша, это мой старый товарищ, Моисей Ефимович.

– Хаймович, Петя, Хаймович.

Моисей Хаймович внимательно посмотрел на Яшу, поднял брови и, не оставляя генералу места для маневра, произнес:

– Петюня, ты кому голову морочишь? Лицо его видел? Он такой же тебе племянник, как Арафат мне дядя.

Генерал надел суровость, вздохнул и отрезал:

– Он мне КАК племянник, и нужно парню помочь с работой в Москве. Задача ясна?

Нос Моисея Хаймовича вырос, а глаза уменьшились и вспотели. Теперь задумался он.

– Племянник, ты не против железной дороги?

– Он не против, – ответил Петр Сергеевич.

– Начнешь проводником, а там посмотрим, – эта шутка показалась новому Яшиному покровителю удачной, и он долго смеялся, набирая номер.

– Алло, Николай Кузьмич, есть минута? Такое дело, у меня тут племянник работу решил сменить. У тебя там есть что-нибудь общественно-возмездное? Я к тебе обращаюсь не часто и прошу к моей просьбе отнестись с максимальным вниманием.

Яша услышал до предела услужливый голос из трубки и понял, что Моисея Хаймовича Николай Кузьмич очень уважал.

– Племянник – близкий мне человек, талантливейший экономист, так что считайте, что вам всем там повезло.

Далее еврейский лоббист, не отрывая трубки от уха, громко спросил у «близкого ему» Яши:

– Как твоя фамилия?

– Кац.

– Фамилия его Кац, так что вашему Когану достойная компания, – закончил беседу Моисей Хаймович и обратился к Яше: – Значит так, родственник, завтра дуй в Москву. Приедешь к Николаю Кузьмичу, он тебе все устроит. Номер запиши.

– Моня, куда пацана пристроил, дядя хренов, и с чего ты взял, что он экономист? – железным тоном спросил Березин.

– Любой Кац – экономист. Место отличное. Контора при РЖД. Кузьмич там директор. Мало шума, много денег. Всё как мы любим.

– Что значит «много денег»? Ты мне парня не порти! – Генерал поднял пудовый кулак и так потряс им перед паспортом друга, что чуть Улисс-Нардан-скелетон не свалился.

– Да все честно: зарплата, премия. Я же сказал – отличное место, только для своих. Все, Петюня, я побежал.

Обалдевший от скорости происходящих событий всеобщий племянник примчал в Москву, нашел замаскированное под тюрьму здание «отличного места для своих», сделал шаг в будущее, но уперся в проходную. Для проникновения в здание требовался паспорт, сдача норм ГТО, флюорография и справка из психдиспансера. Яша справился.

Коридоры, заключенные, вольноотпущенные, коридоры, приемная.

Секретарша, бравшая Зимний, недоверчиво посмотрела на Яшу и без приветствий клацнула:

– Кац?

– Да.

– Ждите.

Яше не давала покоя мысль: «Если у Моисея Хаймовича такие „свои“, интересно – какие „чужие“?» Секретарша подняла трубку, перенастроила голос и излилась медом:

– Николай Кузьмич, к вам Кац, – и тут же другой голос изнутри одушевленного шлагбаума прошипел: – Заходите.

Николай Кузьмич родился непосредственно в своем кабинете, сразу шестидесятилетним чиновником и будет жить вечно, пока Смерть не найдет способ продраться через проходную. А она не найдет.

В меру богатую комнату украшали три портрета. Два ожидаемых и один – Николая Первого. Также на стене висели икона и календарь от самарского управления ФСБ. Российское духовное оливье начала XXI века.

Угрюмый Николай Кузьмич встал из-за массивного стола и крепко тряхнул Яшину руку.

– Хороший у тебя дядя, заботливый.

– Николай Кузьмич, он просто мне помочь решил. Я не совсем его племянник, – врать Яша умел блистательно, но сейчас не видел в этом необходимости.

Судя по выражению лица, Николай Кузьмич не знал, радоваться этому известию или нет.

– М-да. Чем занимаешься?

– Рекламой, спонсорством, могу подробнее объяснить.

Железнодорожник скривился как от зубной боли и глотнул из стакана, сидящего в медном подстаканнике.

– Э-эх, – задумался Николай Кузьмич. Размышляя, он завел разговор о футболе, о погоде, о буднях отрасли, об Украине, наконец, но к вопросу трудоустройства переходить не спешил. Что делать с Яшей, он не знал, равно как и сам герой. Тюрьма аферисту не нравилась отчаянно. Горячий камень задержался в руках Николая Кузьмича и начал жечь ладошки. Железнодорожник поступил по-железнодорожному – перевел стрелку.

Сняв трубку, он спросил у церберши:

– А Сергей Евгеньевич у себя? Соедини… Сергей Евгеньевич…

Николай Кузьмич закрыл ладошкой телефон и шепотом спросил:

– У тебя отец жив?

– Да, – со страхом ответил Яша.

– Сергей Евгеньевич, ко мне тут достойный человек сына прислал. Посмотрите, пожалуйста. Давайте найдем ему применение. Спасибо.

– Иди к моему первому заму, он человек молодой, современный, поговори, дальше думать будем.

– Извините, а можно вопрос?

Отступившая зубная боль вернулась на лицо Николая Кузьмича.

– Давай.

– А почему именно Николая Первого портрет?

– При нем первую железную дорогу в России построили.

Сергей Евгеньевич Яшу удивил. Сорокалетний франт в ботинках, говорящих о владельце все, подтянутый, не по-зимнему загорелый, сидящий за пустым столом, на котором основное место занимал огромный маковский монитор. Фотографии жены с детьми вместо портретов высочайших особ, и селфи с БГ вместо иконы. Юный аферист был достаточно опытен, чтобы понять, кто перед ним. Смотрящий от руководства и куратор финансового блока.

– Присаживайтесь, рассказывайте, – холодно, но доброжелательно начал беседу поклонник «Аквариума».

Яша удивился обращению на «вы», посмотрел финансисту в прозрачные глаза и быстро поведал всю историю.

Сергей Евгеньевич задумывать не стал. Он был прямолинеен, неподвластен магии дядюшек и честен:

– У вас, как я понимаю, теперь много новых родственников, а у нас теперь одна общая задача. Как вам здесь НЕ работать, чтобы никто при этом не обиделся. Кстати, а почему вы хотите уйти с нынешней работы? – дежурным тоном поинтересовался финансист.

– Конфликт с руководством.

– А подробнее?

– Я придумал одну схему, и моему начальнику не понравилось, что я лезу не в свое дело. Ну и я не сдержался.

– Бывает, ну а чем зарабатывать собираетесь, пока новое место ищете?

– Доработаю одно приложение для игры на бирже.

– Что за приложение? – Сергей Евгеньевич оживился и не стал нажимать кнопку delete на судьбе племянника всея Руси.

Яша начал рассказывать.

Взгляд финансиста вцепился в цифры и графики, которые рисовал юный аферист. Жизнь стала клокотать в яростных глазах человека, для которого деньги были предметом искусства. Все-таки у каждого свой наркотик. Он заставляет жить и убивает, если доза слишком велика.

– Да ты талант! И что за идиот у тебя начальник?!

Переход на «ты» вновь удивил афериста.

– Как его зовут?

– Костров Дмитрий Владимирович.

– Вы, по-моему, к банку NN имеете отношение?

– Есть общие акционеры.

– С начальником твоим я разберусь, работай спокойно, и давай на следующей неделе поговорим. Людям мозги нужны, а не родственники, но генералу своему проставься. Семья превыше всего, сам понимаешь.

Вечером Яше позвонил Петр Сергеевич Березин:

– Яшка, я связался с начальником NN банка, которому ваша контора принадлежит. Шефу твоему все доходчиво объяснят. Людям свои нужны в окружении, а не просто умники хрен знает откуда. Так что подожди соглашаться, если этот железнодорожник предложит что-нибудь.

Вскоре удивленный и встревоженный генеральный директор Яшиной компании провел кадровые перестановки, долго благодарил перспективного работника за прекрасные результаты и высказал

надежду на длительное сотрудничество. А еще через пару недель Яша начал получать новогодние подарки и поздравления от коллег, ранее не знавших даже, как его зовут. Самый дорогой подарок он получил от Дмитрия Владимировича Кострова, отправленного поднимать региональную сеть.

Петр Сергеевич и Сергей Евгеньевич были горды собой и своими жизненными принципами.

Ну, а Яшина мама, узнав обо всем, просто усмехнулась, отметив, что масштаб «эффекта бабочки» зависит от того, чьи крылья взмахнули.

Женщины…

Рука

2005 год. Совершенно случайно оказываюсь в Австрии. В то время я занимался обелением бесконечно черного имиджа казино. Команда у нас была веселая, чудили как могли. Итак, мы чудим. Купили остров в Тихом океане и разыграли его в рулетку. Предложили гостям ресторана устрицы unlimited, и Николай Валуев съел 62 штуки, обрушив все наши расчеты. Наконец, решили производить свое вино.

Я уболтал какого-то австрийского винодела обсудить этот прожект, и меня вместе с управляющим рестораном отправили в альпийскую страну для знакомства с ассортиментом.

Как сомелье я был профессионален в одном: уверенно мог отличить белое от красного. В остальном – полный провал. Но, так как товарища завербовал я, меня «прицепили» к поездке.

От Вены мы ехали еще час на машине и прибыли в совершеннейшую дыру где-то в горах. Деревня, виноградники, и всё. Местный секрет в том, что ягодам дают замерзнуть, чтобы получился восхитительный айсвайн. Сладкое, полнокровное вино, сбивающее с ног после первых двух бокалов.

Все дегустируют, я тупо напиваюсь. Они выплевывают, поболтав во рту, я, разумеется, нет, и через два часа становлюсь похожим на снег. Красивый, но на земле.

Утро. Осматриваем окрестности. Главное отличие России от Европы – именно деревня. У них она почему-то не сильно отличается от столицы. И дело не в столице, а в деревне.

Винодел приглашает нас в какой-то дом. Встречают всей семьей, русские все-таки, не каждый день увидишь, даже не каждое десятилетие.

Последней выходит очень пожилая дама.

Знаете, уже после тридцати по женщине можно сказать, станет ли она бабкой или пожилой дамой. И именно по этому признаку мудрые старшие товарищи рекомендовали выбирать жен.

Так вот, представляют мне эту австриячку в летах.

Подошла, поздоровалась. Взяла за руку. Знаете, такая мягко-шершавая бабушкина ладонь. Долго держала и смотрела в лицо. И, вроде бы, ничего особенного, только в глазах ее словно пирог остывает. Помните, как в детстве: прибежишь домой с мороза, руки ледяные, в снежки переиграл. А на кухне суета. Гостей вечером ждут, все, включая кота, готовят. И вот из духовки пирог достали. Отрезать кусок не разрешают, но можно на полотенце, его закрывающее, ладони положить, греться и вдыхать запах теста. Не знаю, получилось ли у меня ее взгляд описать, но я старался.

Посмотрела она на меня и говорит:

– Теплый… вы русские теплые…

И ушла.

Мне уж потом наш винодел рассказал ее историю. Думаю, что это правда:

Во время войны в деревню советские войска зашли. Несколько дней стояли. Встретила она нашего паренька. Герой, в орденах, мальчишка, правда, совсем. Один раз даже ночевать остался. Говорят, не было у них ничего, оба скромные, деревенские, целовались только. Утром провожать пошла, а его машина наша армейская насмерть сбила у нее на глазах. Судьба.

Я был вторым русским, которого она за руку держала.

Ничего в этой жизни из сердца не выкинуть. Разве что заморозить на какое-то время. И слава богу.

@atsypkin *Twitter. Лучшее из худшего*

Умиляет, когда мужчина, пытаясь вернуть ушедшую от него женщину, начинает дарить неистовые букеты. Это как если бы жена в ответ на предложение развестись перемыла бы всю посуду и постирала рубашки.

Как трогательно смотреть на парочки в кафе. Целуются, но кладут телефоны экраном вниз, а уходя в туалет, забирают их с собой.

Деньги пахнут. А московские вокзалы – уникальное место, где в переходах мясо, идущее в столичную мясорубку, встречается с фаршем, выплюнутым Москвой через несколько лет. И те и другие опускают глаза.

Как показывает история, если страна раскалывается надвое, те, кто пытаются удержаться посередине, закономерно падают в пропасть первыми.

Влюбленность: человек ушел, месяц ты лезешь на стену, потом отпускает. Любовь: первый месяц тебя вроде отпускает, а потом лезешь на потолок.

Равно удивляют и те, кто хочет исключить похоть из списка грехов, и те, кто не склонны к ней, и только поэтому считают себя святыми.

Обязательно настанет утро, когда ты закроешь глаза на срок годности йогурта, одиноко лежащего в холодильнике.

Из личных показаний

Приглашаю папу на свой день рождения: «Ресторан такой-то, бронь на мою фамилию»». «Вообще-то на мою».

Миллионы гениев в мензурке

Мой первый рассказ

Я мнителен. Любой прыщ считаю началом мучительного, но скорого конца. По этой же причине наличие презерватива было для меня единственным условием добрачных отношений.

Но однажды, на втором курсе, вышла осечка. Наутро, протрезвев и осознав все риски произошедшего, я помчался в поликлинику. Доктор сообщил мне о каком-то инкубационном периоде и отправил восвояси.

Следующие несколько дней прошли в тумане, выискивании симптомов, составлении завещания и клятвах всем известным богам принять обет безбрачия в случае выздоровления. В назначенный день, трясясь как советский трамвай, я сдал все анализы и впал в кому, не дожидаясь результатов. Через сутки врач огорошил меня новостью:

– Здоров!

Стоит ли говорить, что я ему не поверил и потребовал пересмотреть свои лживые показания или порекомендовать мне альтернативные анализы.

Осознав, что один из нас должен умереть, доктор отправил меня сдавать спермограмму. Он сообщил, что, помимо нескольких миллионов копий такого же труса, как я, в ней теоретически могут обитать интересующие меня микроорганизмы.

– Поднимись в лабораторию, там тебе все объяснят.

Слово «лаборатория» меня насторожило. В ней периодически доблестно трудилась МОЯ БАБУШКА. Встречать ее в данных обстоятельствах мне, по понятным причинам, не хотелось, но я рассчитывал на мое обычное везение.

Пролетев два этажа, я открыл дверь в нужный кабинет и увидел знакомый профиль. Бабушка. Я зашел, обмяк и торжественно замолчал. Произнести слово «сперма» при бабушке сил не было.

– Ну что? Довеселился? – поинтересовалась Т. Р., протягивая мне что-то среднее между наперстком и маленьким пластиковым стаканчиком. Глаз от микроскопа она не отрывала. Это меня спасло от позорного обморока. (Думаю, врач-венеролог сообщил ей о моем визите по телефону, а как потом выяснилось, и все другие мои анализы смотрела тоже она.)

– Сдашь и сразу неси мне. Инструкция на двери в наше отделение, – отрезала бабушка.

Вышел я сквозь дверь, как Гарри Поттер.

Посмотрев на мензурку, я наконец осознал, что от меня требуется, но все-таки решил ознакомиться с инструкцией. На двери крупными буквами были даны ответы на все мои вопросы:

«Получить в кабинете 143 пластиковый стаканчик. Пройти в кабинет 146.

Путем массажа получить эякулят (это слово я прочел трижды, нервно размышляя, то ли это, о чем я думаю).

Сдать эякулят в кабинет 143 в течение 5 минут. (Кхе-кхе… а что будет, если опоздаю???)»

Массаж меня определенно заинтересовал, хотя я, конечно, понимал, что массажистки в данной процедуре не предусмотрено. Развернувшись с целью поиска кабинета 146, я впервые понял, что это такое – желание провалиться сквозь землю.

Локейшн был следующий: огромный холл, в который выходила дверь бабушкиного отделения с той самой инструкцией, далее приемная стоматологического отделения, и в конце холла – кабинет номер 146. В общем, все сидящие здесь видели, как я читал инструкцию, и понимали, куда и зачем я сейчас пойду. Все сидящие – это две женщины, парализованные первобытным страхом перед бормашиной, которым явно не было дела до моего массажа, и две медсестры, стоявшие в регистратуре стоматологии. Этим как раз не было дела ни до чего другого, кроме моего массажа. Они смотрели на меня в упор с нескрываемым ехидством. Маскировать стаканчик и изображать праздношатающегося было поздно. От моего лица можно было прикуривать.

Понимая, что при таких свидетелях холл я преодолеть не сумею, и уж тем более не смогу выйти из кабинета 146 в здравом рассудке, я решил ретироваться под крыло старшего поколения. Бабушка вопросительно подняла брови. Собрав силы в голосовые связки, я изрек:

– А нельзя ли заняться таким непристойным делом дома? В окружении друзей и при помощи, так сказать, сочувствующих?

– Нет, нельзя – остынет, иди сдавай, мне уходить надо.

После этой фразы я завис. Слово «остынет» в устах бабушки ассоциировалось у меня только с супом, овсяной кашей или в крайнем случае с ингаляцией.

В общем, я застрял в коридоре, так как выйти обратно в холл навстречу фуриям с горящими смешливыми глазами не представлялось возможным. Был вариант минут через пять вернуться к бабушке со словами «не смог», но, во-первых, оставался страх смертельной болезни, а во-вторых, так низко пасть не позволяло мое тщеславие.

Собравшись с силами, я бодро открыл дверь и пошел на амбразуру. Первый же взгляд на регистратуру убедил меня в том, что «все бабы суки». Их там было уже четверо, и все как одна мерзко хихикали, а стоило мне целиком вылезти на свет, восемь глаз начали меня дырявить. Думаю, уже вся клиника знала о моем сольном выступлении. Положение было отчаянное. Отбросив всякую стеснительность, я подошел к медсестрам, громко спросил, не хочет ли кто-нибудь из них помочь. Измученные болью и ужасом пациентки тоже повернулись (но, скажу честно, эти дамы помочь мне не смогли бы при всем желании). Настало время краснеть медсестрам. Одна сразу испарилась, трое оставшихся занялись заполнением историй болезни. Торжественно заявив «так я и думал», я направился в кабинет 146.

Его я запомнил на всю жизнь.

Кабинет 146 внешне не отличался от других кабинетов советской поликлиники. Я и не ожидал бархатной обивки на двери, но возлагал большие надежды на внутреннее убранство помещения. Как-никак, там должен был происходить хоть и неполноценный, но акт любви. Воображение рисовало телевизор с недоступной мне тогда порнографией, журналы Playboy на цепи или хотя бы каталог женской одежды, некоторые разделы которого были детально изучены мною еще в школе.

Естественно, предполагались душ и ложе. Реальность превзошла все ожидания. В храме любви не было ничего. Ну, то есть вообще ничего. Стены, окрашенные в противозачаточный темно-зеленый, и всё. Ах, нет, вру, имелся офисный стул, и он, сволочь, стоял плохо, что было весьма символично. Похолодевшими руками я стал нащупывать задвижку, ибо в данной ситуации еще и кричать «занято» было бы вовсе сюрреалистично. На мое счастье, задвижка присутствовала. Решив проанализировать ситуацию, я сел на стул и чуть не навернулся.

Передо мной сразу встало несколько проблем. Жалкий виновник этого торжества из комы не выходил и признаков жизни не подавал.

Слишком долго сидеть в этом карцере я не мог – бабушке, как вы помните, нужно было уходить!

За дверью находились пристыженные медсестры, и мое долгое пребывание в кабинете 146 вызвало бы у них нездоровые подозрения.

Комната одна, а желающих «помассажироваться» много. Не хотелось услышать стук в дверь и пожелание «быстрее…» – ну, вы сами понимаете.

Не буду посвящать вас в детали последующих 10 минут. скажу только, что мое воображение никогда не работало так усердно. Силой мысли я перенес себя из этой тюрьмы в волшебную страну и пребывал бы там счастливо, если бы не пластиковый стакан, узкое горлышко которого требовало точного баллистического расчета.

Усталый, но гордый я вышел из кабинета 146 и, окинув пунцовых дантисток взглядом победителя, строевым шагом отправился к бабушке. Медсестры уткнулись в бумаги.

В кабинет 143 я зашел, конечно, не таким смелым… Пока бабушка запихивала «эякулят» под микроскоп, я озвучил петицию, посвященную неприспособленности кабинета 146 для указанных целей. Ответ был прост и совершенен:

– В следующий раз пойдешь на улицу. Там все приспособлено.

Бабушка посмотрела в окуляр, подвигала стекляшку, еще раз посмотрела и порадовала:

– Ничего нет.

– Что? Вообще ничего? – насторожился я.

– Что должно быть, то есть, больше ничего нет. Здоров. Хочешь посмотреть?

Посмотреть хотелось. Даже очень. Я накрыл глазом черную трубу микроскопа и еще раз поверил в Бога.

Внизу бешено суетились сотни капелек, в каждой из которых невообразимым образом умещался человек и вся информация о его пороках и чертах характера, талантах и заболеваниях, о родинках

и длине ресниц. В пластиковом стаканчике их было несколько миллионов. Я даже дышать перестал.

Бабушка прекратила эту рефлексию и одним движением руки уничтожила крупный европейский город, сплошь населенный гениями. Стало грустно. Мне дали побыть Богом, а я тут в кабинете 146…

Уважение

Недавно я видел, как четыре щенка пуделя (собачница вела их на выгул наполеоновским каре) злостно облаяли здоровенного ротвейлера. Я впервые наблюдал на собачьей морде выражение полного недоумения. Если пес может онеметь – это был именно такой случай. То есть где-то внутри его собачьего разума шевелилась мысль, что надо бы шоблу урезонить, однако они все умещались в его пасти разом, и при таком раскладе отвечать как-то не по-пацански. В итоге, облаянный ротвейлер поплелся за хозяином, а мушкетеры продолжали гордо визжать и даже хором пометили колесо S-Class-а (долго выбирали). Ну, скажем так, часть колеса. Мудрый пес напомнил мне одного своего собрата по породе и историю об уважении старших в собачьем мире.

В далекие 90-е у моего друга Вити был пес со звонким именем Рембо (ударение на первый слог). Впрочем, с героем боевиков этот фрукт ассоциировался в той же степени, в какой и с поэтом (ударение на слог последний). Пожилая дворняга размером с небольшую лайку, со взглядом одновременно печальным, смелым и хитрым. Такие глаза я видел как-то у отсидевшего добрый десяток лет вора, с которым судьба столкнула меня в одной компании.

Как и герой той встречи, Ремчик, как ласково звал его Витя, был в авторитете. Гулять ходил без поводка, периодически принимал участие в дворовых разборках, ну и, конечно, почитал маму. Витину маму, разумеется. Кроме пса на подотчетной территории проживала кошка. Рембо она «видела в микроскоп», что с бабы взять. Мама любила всех, и все любили маму. Социум жил в полной гармонии, но в один, возможно, прекрасный день в судьбе фауны случились перемены. В квартиру с особым почетом внесли щенка ротвейлера. Имя аристократического отпрыска было грозным – Джафар. Положение Джафара в обществе стало полной противоположностью его родословной. Иерархия животного мира в этой квартире сложилась следующая: кошка, дворняга, мухи, комары, микробы, Джафар. Ел он последним, спал где разрешат. Рембо одаривал Джафара взглядом устало-властным, кошка не видела вовсе. Надо сказать, ротвейлер сразу все понял и, если мы издевательски кидали ему кусок колбасы, глотая слюни и слезы, сидел около этого куска и ждал, пока Рембо придет и съест свою часть… ну или всё. Как повезет.

Прошло года два. Джафар изменился. Он стал машиной для убийства. Огромный, мощный, с бычьей шеей и ледяным взглядом, он наводил ужас на всех соседей и окружных собак. Но дома ничего не поменялось.

Рембо все также заходил в кухню первым и единственным, а еле помещавшийся в прихожей Джафар покорно ждал. И если его морда вдруг проникала в кухню (просто потому, что в прихожую он весь не влезал), Рембо одним движением глаз возвращал голиафа на исходные позиции. Когда, наконец, авторитет заканчивал трапезу и покидал пределы кухни, туда с радостным грохотом несся Джафар. Со стороны это напоминало Терминатора, который бежит 100 метров с барьерами, но барьеры просто проламывает. Иногда под его лапы попадалась кошка.

Визг, шипение и боязливый взгляд Джафара: «Пардон, мадам, не заметил-с».

«Мадам» придумала изощренную месть. Она садилась на стул, и когда Джафар шел мимо, просовывала лапу между спинкой и сиденьем, царапала монстра и быстро убирала лапу обратно. Изумлению Джафара не было предела.

За взаимоотношениями в данном коллективе можно было наблюдать часами, но хозяин приготовил мне особое зрелище. Мы пошли на прогулку. Рембо, в силу авторитета, без ошейника, Джафар на двойной «якорной» цепи. Как только мы вышли на улицу, Рембо тут же исчез.

– Куда это он?

– Сейчас услышишь!

Минуты через две раздался групповой лай. Голос Рембо даже я уже узнавал. Джафар натянул поводок так, что мы с Витей стали похожи на героев сказки Репка, но сдались через полминуты и побежали за ротвейлером, еле удерживая спасительную для всей Петроградки цепь. Через несколько десятков метров мы увидели следующее: Рембо стоял в окружении трех дворовых псов и яростно рычал. Собачья братва, обступившая его, самодовольно размышляла, с чего бы начать бойню: шансов у стареющего пса было немного. Но в этом мире главное – уважение. И, как говорил Абдулла, кинжал хорош для того, у кого он есть. Кстати, несмотря на быстроту происходящего, я заметил в глазах Рембо полную уверенность в исходе стычки. Это потом я узнал, что все было отрепетировано. В момент, когда трое псов уже начали покусывать Ремчика, в круг с диким лаем ворвался Джафар. От одного только рокота, исходившего из его жуткой пенившейся пасти, у бедных дворняг вжались уши. Та, что была ближе всех, взвизгнула, и все трое пустились наутек. Рембо даже не сдвинулся с места. Джафар с подростковой гордостью смотрел на старшего, но тот не удостоил его даже взглядом, а просто начал осваивать покоренную территорию.

Хозяин этой «бригады» сообщил, что данная разводка – поставленный на поток фокус. Рембо заводился, начинал возню, а потом вызывал артиллерию. И если бы не якорная цепь, то все заканчивалось бы полным беспределом. Каждый раз Рембо убегал все дальше и дальше, завоевывая новые пространства.

Джафар набирал мощь, и вскоре банда получила контроль над всем микрорайоном. Рембо старел, дряхлел и уже не всегда мог пробежать хотя бы десять метров, но до конца его дней Джафар смотрел на низкорослого, нескладного пса со страхом и уважением. Ел по команде, дышал в такт и был счастлив от того, что точно знает свое место в жизни. Место чуть пониже старой дворняги и кошки, и чуть выше всего остального мира. Когда Ремчик умер, Джафар уже стал взрослым, и вместе с этой «взрослостью» из его глаз навсегда ушел бесконечный и беспричинный щенячий восторг. Достойный и неизбежный обмен.

Как Ясир Арафат меня спас

Папа включает на даче канализацию.

Я (рьяно): «Помочь?»

Он (скептически):

«В настройке канализации пиарить нечего, листья сгребай и грабли не сломай!»

В 1991 году, вместо того чтобы как все школьники сидеть на даче и ждать путча, я был отправлен в Детский исправительный лагерь в Израиль. Ну, в смысле, я поехал к папе на каникулы. Это была моя первая поездка за рубеж. Мечтаний было много, а денег мало, как у всех с серпастомолоткастым паспортом.

Увидев на первой же израильской бензоколонке жвачку Juicy Fruit и банки Coca Cola в неограниченном количестве, я впал в экзальтацию и тут же потратил почти все выданные мне в России 20 или 30 долларов. Многим не понять, но я хранил подаренную мне за пару лет до этого банку кока-колы, наливал туда пепси и катался по Ленинграду на трамвае, собирая завистливые взгляды окружающих. В конце концов, группа невского пролетариата отобрала у меня и банку, и имевшиеся с собой деньги. Я страдал и ностальгировал по куску крашеной жести целый год, а тут их сотни.

В общем, деньги кончились, а жизнь только началась. Папа, осознав мое психическое расстройство, давал деньги только на музеи, и скоро я стал ощущать себя героем известного анекдота про еврейского мальчика: «Первый день русский, а уже вас, жидов, ненавижу».

Я потребовал с отца «репараций и контрибуций». Папа поступил по шедевральной парадигме «дадим обездоленным не рыбу, а удочку». Евгений Михайлович, даром что врач, решил приобщить меня к коммерции, а заодно выгнать из дому, в котором я почти круглосуточно ел и смотрел телевизор. Он купил сумку-холодильник на колесиках, двадцать бутылочек кока-колы (особый цинизм, зная о моей страсти к этому бренду) и послал меня продавать ее на улицы Иерусалима.

В Израиле чуть не ежедневно теракты. Мне 14 лет. Отцу 33. Вот ведь воля у человека.

Первый день прошел успешно. Я вышел во двор. Сел на скамеечку и начал «грозить Веселому Поселку (мой родной район в Питере), попивая кока-колу у себя в квартале». Так сказать, пошла амортизация основных средств. Раз в час я лениво булькал прохожим «Кока-кола кара» (холодная кока-кола). К концу дня я выпил десять бутылок, продал две. Уставший, но довольный пионер прибыл домой. Папа произвел расчет и сказал, что теперь я должен ему 18 шекелей. Антисемитизм начал пускать корни в моей неокрепшей душе. Я решил, что потомок благородной русской фамилии не будет барыжить на этих кровососов, и сказал, что у меня недомогание. И тут папа, что называется, ударил в пах.

– Кстати, хочу тебя с дочкой наших друзей познакомить, вот фотография, пригласи ее в кино.

Девочка была не такой симпатичной, как модели в каталоге Quelle, страницы с женским бельем которого составляли основу моей жизнерадостности. Но гораздо лучше большинства тех моих одноклассниц, которые обращали внимание на тощего и локально прыщавого интеллигента.

– Она ждет приглашения в пятницу, и у тебя есть три дня, чтобы вернуть мне долг и заработать на билет. Ну, или я скажу ей, чтобы она тебе билет купила.

«Ну ничего… попроси у меня в старости воды», – подумалось мне. Папа внимательно посмотрел в мои глаза и решил на всякий случай родить еще двух детей. Теперь у меня сестры. Очень рассчитываю на них в вопросах воды для папы и себя.

В девять утра следующего дня, надев кепку, очки и взяв для себя воду, я вышел на охоту. Я был неудержим. Вокзал и музеи, синагоги и кладбища. Одинокие полицейские и одинокие бабушки. Группа военных и группа хасидов. Я продавал сладкий лимонад всем и везде. Меня любили и прогоняли. Я понял, что вода идет лучше и продал собственную. Я шел домой пешком, чтобы сэкономить на автобусе. Алчность обуяла меня, но я помнил одно: «Не заходи в Восточный Иерусалим». В школе я вел политинформацию и знал, что израильтяне аннексировали Крым, тьфу Палестину: вежливо туда зашли, но референдум не сложился. В общем, в Восточном Иерусалиме жили палестинцы и евреев они не очень ценили. Попасть туда было легко. Более того, часть еврейских районов находилась за палестинскими, автобус пролетал их особенно быстро. Периодически в автобус кидали камнями. Иногда случались и трагедии. Маму папиного друга зарезали прямо на улице… Уехала из беспокойной России… Судьба.

Но в подростковом возрасте опасность воспринимается по-другому, биологически организм знает, что жить еще долго и поэтому не боится смерти. Я был из довольно робкого десятка, но иногда терял всякую осторожность.

В общем, я оказался со своим холодильником в Восточном Иерусалиме. Случайно. Я, правда, не хотел. Просто заблудился. Народу резко поубавилось, прохожие были одеты странно, и еще более странно на меня смотрели. Мне стало страшно. А выхода особо не было. Я носился с долбаным холодильником как Миронов по Стамбулу в «Бриллиантовой руке».

Смеркалось. «Евреи, где вы?! Вернитесь, я все прощу. Господи, помоги мне». Господь помог.

Два араба с мрачными лицами шли по переулку мне навстречу. Я уже тогда понимал, что стану гуру пиара, потому что придумывать отмазы умел как никто. Тем не менее врать о национальности своего отца не собирался. Я вам не Павлик Морозов. Но ведь не нужно сразу кричать, что у меня папа еврей. Можно же просто завести дискуссию в иное русло. Врут бездарности. Таланты находят нужную правду.

Арабы ожидаемо меня остановили. На улице никого. В стране как-никак война. Это вам не про мобильные скорости на ТВ сказку за сказкой рассказывать.

Что-то спросили на иврите – понятно было, что я с другой стороны.

– Языками не владею, ваше благородие, – смысл фразы был чуть иной, но лицо сияло как у Якина.

– Ты кто?? – Террористы сносно говорили по-английски.

– Александр, – имя не еврейское, плюс 1 балл. – А вы?

Пауза. Не ожидали. Представились. Я долго и крепко жал каждому руку. Переглянулись.

– Ты что здесь делаешь, придурок?

– Кока-колой торгую, хотите вам со скидкой? – глупо хихикнул я. Торговое предложение отклика не нашло.

– Ты хоть знаешь, где ты находишься?

– В оккупированном Израилем Восточном Иерусалиме, – 100 % правда, смотри резолюцию ООН.

Арабы подвисли, но взгляды их размягчились.

– А ты сам-то откуда?

– Я приехал из Советского Союза на заработки во время каникул – 100 % правда.

Нахмурились. Тот, что помоложе, встал слева.

«Бежать теперь некуда. Черт, надо было раньше делать ноги, но тогда бы точно спалился».

– А деньги тебе зачем? – Именно так обычно начинала разговор ленинградская шпана.

– Сводить девушку в кино и купить маме цветной телевизор – 100 % правда, мы жили бедно и дома был черно-белый квадрат.

– А мама в России живет?

«Уф-ф клюнули! Ща должны спросить, кто она по национальности и уже проще будет».

– Да, у меня родители врачи, а врачам в СССР мало платят, хочу маму на старости лет порадовать. – Кроме старости (маме 33), все остальное – чистая правда, плюс я в одной фразе упомянул маму и отца. Таким образом, складывается впечатление, что отец у меня тоже бедный врач в СССР, обычный «пиарный» прием.

– А мама русская? – развязка близка.

– Конечно! – с особым возмущением сказал я. Ждать, пока они спросят про отца, я не стал.

– Она, конечно, переживает, что я здесь, но знает, что я работаю на честных и порядочных евреев (100 % правда) и уверена, что мне заплатят. А вы как думаете? Заплатят?

Араб проникся:

– Как повезет, но я бы взял вперед. А то я тут на стройке пахал месяц и нихрена. А на кого ты рабо…

– А вы не могли бы меня с Ясиром Арафатом познакомить? – нанес я упреждающий удар по выдвинувшимся к Курской дуге немецким войскам.

Мозг арабов застыл, они напомнили мне роботов с планеты Шелезяка. Даже моргать перестали. «Надо добивать».

– Это же герой палестинского сопротивления, я про него в школе рассказывал на уроках (100 % правда). Если не возьму автограф, учитель расстроится, – 100 % правда. Учитель военного дела так и сказал.

Я смахнул слезу. Роботы начали приходить в себя.

– Да, это наш герой, и мы рады, что есть в мире люди, которые понимают нашу борьбу, расскажи всем в своей школе, что мы будем бороться и дальше! Пойдем. – Один из арабов крепко взял меня за плечо, и мы пошли.

«Если мы идем к Ясиру Арафату, то мне конец, переиграл».

Через пару кварталов, когда холод в моем животе превратился в вакуум, они вывели меня на относительно многолюдную улицу, ткнули пальцем в сторону израильских полицейских и сказали на прощание:

– Не заходи сюда больше, наш советский друг.

Только тут я обратил внимание, что они худы, бедно одеты, а во взгляде какая-то простая усталая теплота. Обычные люди, как мой отец и его друзья в то время. Ну, не врачи они, не так образованны. Не там родились. Не вовремя. Надеюсь, им не пришлось никого убивать, и их не убили.

P. S. Девушка мне не дала. Телевизор я маме купил.

SOS. Save our safe

Вот мы всегда критикуем нашу страну за низкую эффективность труда, а ведь бывает и хуже. Занимательная история о том, сколько нужно людей, чтобы открыть один сейф.

Жили мы на острове, и все было хорошо, но вдруг пришло несчастье. Навернулся сейф. Отличаясь изрядной долей паранойи, я спрятал туда все, включая мелочь, я бы и ботинки запихал, но не влезли.

Предполагая днем наконец потратиться на банку кока-колы, я утром набрал заветную комбинацию, но в ответ гробик пожужжал и не открылся. Весь персонал отеля уже ознакомился с диким нравом нашей семейки и разбегался в стороны, как только мы выходили на променад. Ну а наш звонок на ресепшн, уверен, встречали стоя и матом. Поэтому вызванный мастер выглядел как CEO Bank of New York (глава банка «Нью-Йорк»), имел помимо очков, галстука и костюма мешок с запчастями, 100–500 раз извинился и сказал, что весь менеджмент скорбит вместе с нами. Несмотря на мешок с дивайсами, ремонт осуществлялся нашей же шариковой ручкой, найденной им в нашем же бюро.

Сейф не сдавался. Через полчаса мастер был одарен таким взглядом моей будущей жены, что от него должен был открыться не только сейф, но и врата более опасные. Мастер вернул ручку, поклонился, всплакнул и сказал, что вызовет подкрепление.

К вечеру прибыла бригада спецназа: CEO, плюс тучный гражданин (он стоял, дышал, смотрел и в этом был смысл его прихода), а также равнодушно-жуликоватого вида подросток, который, как мне кажется, вскрывал сейфы при совершенно разных обстоятельствах. Около часа они меняли местами батарейки в панели управления и краснели всеми своими афроамериканскими лицами. Затем в дело ввели пару сканеров и датчиков. Еще через час они начали отчаянно звонить «наверх». Насколько я понял, «наверху» предложили поменять батарейки. Креольский мат был сопоставим с искренностью извинений.

Тучный гражданин понял, что его время пришло, и начал непринужденно интересоваться, как нам Маврикий и что мы успели посмотреть. Слово «успели» отражало суть ситуации. Все деньги и кредитки были за сим-симом, а без них, понятно, смотреть Маврикий весьма затруднительно. Понимая, что вопрос не прохилял, п-д-н задушевник поинтересовался, как там у нас, в России. Тут я уже не сдержался: «Do your questions mean that mission has just been fucked by a metal box?» (Означает ли это, что миссию только отымел железный ящик.) Больше вопросов про Россию

не поступало. Далее мистер малой начал звонить «вниз». Внизу посоветовали применить дрель, о чем я говорил еще утром.

CEO подтянул галстук, поправил очки, насупился и изрек: «If we use all available technics and EXPERTS opinion and still do not achieve the necessary for ALL OF US result, we will have to DESTROY it». (Если мы, использовав все имеющиеся в нашем распоряжении технологии и экспертизу, не сможем достигнуть удовлетворяющего нас всех результата, мы будем вынуждены уничтожить его.)

Судя по такому интро, уничтожить сейф он собирался термоядерной бомбой вместе с отелем и островом. Перед самым вызовом «мусорщиков» тучный болтун подошел к сейфу и так долбанул по нему мозолистым кулаком пролетариата, что в спальне упала картина. Сейф не открылся. CEO побежал вешать местную живопись обратно. Вернувшись, CEO боязливо поинтересовался, когда вернется госпожа. Узнав, что у них есть пять минут до прихода инквизиции, троица начала панически звонить и дергать дверь сейфа. Через 4 минуты 58 секунд они испарились. Еще через полчаса пришел мастер в робе, с ним помощник и те трое. Гардеробная в нашем номере большая, но и она не вместила всех желающих. За минуту профи высверлил сейф и молча удалился. CEO божился: «It is first case in my long life, believe me, I do understand how difficult it was for you and I am sure it will never never never happen again!» (Это первый случай за всю мою долгую жизнь, я понимаю, как вам тяжело, и я уверен, это более никогда, никогда не повторится.)

Я разрыдался.

Интересно, что ни один из граждан не удосужился попросить у меня паспорт или хоть как-то по-другому уточнить, имею ли я отношение к этому номеру. Но даже не это восхитило меня, а то, что, как мне потом рассказал один из сотрудников отеля, история про наш сейф облетела весь курорт, и бездарный CEO благодарность получил за то, что решил вопрос. Парня со сверлом так и не наградили.

Гимн а ля рюс

Сардиния, клуб «Billionaire». Миллиардера я заметил там, правда, только одного, но в целом модное местЭчко. Много наших, скажем так, «яхтсменов» и неистовых поклонниц этого прекрасного вида «спорта».

Суббота. Приглашен как бы звездный диджей. Не Пол Ван Дайк, конечно, но вида приличного и, главное, периодически играет неплохую музыку. То есть не попсу, а для понимающих. В самый разгар сета вдруг прибегает за пульт какой-то суетливый администратор неопределенного возраста, начинает махать диджею руками, что-то втирать и тыкать в дальнюю часть зала. По лицу администратора видно, что в «дальней части зала» сидит, как минимум, его смерть. Диджей в полном изумлении останавливает пластинки. Танцующие озираются. Думаю, неужели местная полиция приехала реагировать на жалобы соседей.

Тишина. Из недр кухни выплывает процессия с трехлитровой бутылкой «Кристалла», увенчанной канделябром из фейерверков. Следом несут еще бутылок десять, обычных уже, но тоже, как положено, с пиротехникой. Суетливый администратор, выскакивая из очков, делает кому-то знаки и начинает играть Гимн РФ в каком-то комически-хоровом исполнении, напомнившем фильм «Красная Жара» со Шварценеггером. Диджей сразу ушел в себя и надел оба «уха». Администратор с лицом человека, которому всё пришили назад (и всё работает), встал во главе процессии. Ну а в ложе – наш человек: тучный, довольный, родной, патриотичный.

Я ощутил в полу вибрацию и понял, что это Сергей Михалков крутанулся. Кто бы ему эту картину нарисовал в тридцатых.

Игра на понижение

На волне недавних валютных спекуляций я вспомнил искрометную историю про своего школьного друга, которого родители премировали за пятерки. Антоха был очень толковым, поэтому школу закончил круглым отличником и… неврастеником, так как любая четверка рассматривалась родителями как трагедия и причина для санкций. Поступив в Политех, гений понял, что в системе пора что-то менять.

В первую сессию он управляемо «опустил рынок» до четверок, во вторую – до троек и двоек, с пересдачами и угрозой отчисления, о которой со всем трагизмом ежедневно сообщал родителям. Один особо умный преподаватель Антоху, что называется, вскрыл, так как уж слишком хорошо он учился в течение года, а потом вдруг на экзамене превращался в тупицу. Но понять всей глубины замысла он так и не смог.

Родители горстями ели успокоительное, вели жесткие беседы, лишали сына карманных денег, требовали пятерок, но сдались первыми. За то, что второй курс Антон закончил «ВСЕГО» с двумя тройками, он получил автомобиль. К концу учебы у будущего бизнесмена в зачетке светилось «хорошо», а иногда даже «отлично», и он был одарен квартирой. При этом учиться он совсем перестал и открыл свою контору уже к четвертому курсу. Когда денег на раскрутку не хватало, он за несколько дней писал молодежи дипломы и курсовые. В эти моменты он запирался в своей комнате, объясняя, что усердно готовится к экзаменам.

Дмитрий Игоревич (папа Антона) говаривал мне, что нет лучше мотивации, чем денежная, и он прекрасно разбирается в том, как с ее помощью манипулировать людьми:

– Я смог вытащить своего сына из ямы и заставил учиться, преодолеть себя, и главное, я всегда платил только за реальный результат, за работу на износ.

– Антоха, а ты когда-нибудь расколешься?

– А кому от этого будет хорошо? Странные вы люди, пиарщики.

Гордость нации

Русские женщины постоянно вынуждены «заходить в горящие избы», в основном, чтобы вытащить оттуда пьяных в стельку мужей, которые сами эту избу и подожгли во время попойки.

Недавно на вполне законных основаниях я провел пару часов в полиции. Сколько веселых зарисовок, отражающих глубинные проблемы нашего общества!

Пролог

Началось все отлично: уже на уличной проходной у меня попросили паспорт, о потере которого (залил вином-с) я и пришел заявить.

– Разрешите пройти, мне заявление подать об утере паспорта.

– Добрый день, документы предъявите, пожалуйста.

– Ой, извините, здравствуйте, так у меня нет!

– Другие документы.

– Какие?

Полицейский поднял глаза и порадовал:

– Ну, я не знаю, ну, справку об освобождении.

В эту минуту я решил поменять пуховик, побриться, купить другую шапку и прекратить пить.

– Справки у меня тоже нет… пока.

– Загранпаспорт?

– Дома.

– Если не сложно, сходите, пожалуйста. Порядок, вы меня поймите.

Такой вежливости я противостоять не мог. В общем, сходил домой за загранпаспортом, пустили.

Зарисовка 1

Сижу в фойе. Составляю петицию.

Рядом непотребного вида субъект, ростом метр пятьдесят, в куртке с плеча Николая Валуева, высказывает недовольство бюрократическими процедурами.

– Начальник….гнида… паспорт, сука, верни!!! Ну что, козлы, поймали уХоловный Алимент? Звездочки зарабатываете, суки?!

Полицейский в ответ равнодушно:

– Сейчас протокол подпишите – вернем.

– А вот хрен тебе, не буду ничего подписывать, хоть расстреливай!

– Тоже вариант.

– Ой, напугал! Я свою двушку отсидел.

После этого пассажа он вдруг заснул. Причем мгновенно. Через пятнадцать минут проснулся и из недр куртки прозвучала гражданская позиция определенной части электората:

– Эээ начальник, падла, а кормить когда будут?

Зарисовка 2

Тот же полицейский кому-то за углом в коридоре:

– Господа, пройдите сюда.

Я отвлекся от заполняемого заявления, чтобы посмотреть на «господ».

Они вывалились в приемную пирамидкой на ногах, кривых анатомически и алкоголически. Один в полную зюзю, второй выглядел значительно лучше.

Полицейский:

– Пишите здесь, что пили алкогольные коктейли. Первый, булькая и заикаясь:

– Я ничего не пил.

Полицейский:

– Ну конечно, а взяли за что?

Первый, икая:

– За компанию.

Второй:

– Серега, быстро во всем сознайся и пойдем отсюда. Первый:

– В чем это я должен сознаться?!

Второй:

– В убийстве Кеннеди, задолбал, домой хочу.

Да-да, высок уровень образования в нашей стране. Первый в панике:

– Я никого не убивал!

Второй:

– Тогда пиши, что пил.

Первый быстро все подписал, получил какую-то бумагу про штраф, спросил о сумме и, узнав что влип на пятьсот рублей, озвучил экономические требования от регионов центру:

– Пятьсот рублей?! Да вы все в Москве охренели!! Я дома неделю на эти деньги бухать могу.

Зарисовка 3

Входят двое. Строгие. Деловые. И с положительными лицами под положительными шапками.

Первый:

– Простите, а процедура сколько займет? Мне ребенка из школы забрать нужно.

Полицейский:

– Сорок минут, и свободны.

Первый звонит по телефону:

– Але, Света, я не смогу Кирилла забрать из школы. У тебя получится? Я в милиции. Нет, все в порядке, нас с Димой забрали за курение в общественном месте. Да бросил я курить! Я случайно! Нет, ну правда, я уже месяц не курю. Нет, я не всегда вру. Да, я правда в милиции!

Жена, судя по всему, трубку бросила. Перезванивает:

– Свет, ну я клянусь, ну что мне, полицейскому трубку дать? – Обращается к оформляющему тех двоих: – Простите, вы не могли бы моей жене сказать, что я правда в милиции, тьфу, в полиции, и что действительно за курение.

Тот, который знает Кеннеди, громко в трубку:

– Жена, не верь, у бабы он был, вон, весь в помаде! – и залился хохотом.

Тот, который в куртке Валуева:

– Менты, суки, ни за что людей сажают! Полицейский взял трубку:

– Здрасьте, лейтенант такой-то, Хамовнический ОВД, да, у нас, да, курил, да, с другом, да, оба курили; да, только что; скоро отпустим… Сказала, что лучше бы вас не отпускали, – порадовал полицейский мужа Светы.

Несчастный курильщик озвучил одобрение законодательным инициативам Государственной думы:

– Хороший закон, точно курить брошу.

Эпилог

Майор, взявший у меня документы, сказал, что мой дом попадает в район Арбатского ОВД, но он все примет, и всем там позвонит, и что я могу через десять дней туда подойти. Дал адрес и сказал, чтобы я не переживал, что все будет хорошо.

Хорошие у нас люди в полиции работают, душевные и спокойные.

@atsypkin *Twitter. Лучшее из худшего*

Настоящее разочарование – это когда дружишь с человеком, душу вкладываешь, в огонь и в воду, так сказать, с ним, а его р-р-раз и увольняют с важного поста. Или того хуже, сам, паскуда, увольняется.

Похотя обидел девушку.

Сотрудник Госдумы, отвечающий за реестр порносайтов, СГОРЕЛ на работе.

Чужие письма читают бабы, женщины пишут свои.

Возраст – это когда одинокий мужчина, собираясь в командировку, сначала проверяет, взял ли он с собой все необходимые лекарства, и только потом наличие презервативов.

Микросекунду легко определить и почувствовать. Ты смотришь в глаза незнакомой женщине именно на этот промежуток времени больше, чем нужно. Но оба его считывают.

Одно из важнейших качеств по-настоящему близкого человека – чувствовать, когда ему нужно побыть от тебя подальше.

Наше будущее

Шедевры 11-летней сестры гения, то есть меня

Маша стоит у памятника Пушкину и ждет сильно опаздывающую маму. Вскоре она не выдерживает, звонит маме:

– Мама, забери меня скорее, потому что единственный трезвый человек рядом – это Пушкин, и, судя по всему, ему тоже скоро начнут наливать…

Маша решила выпросить новый телефон и применила убойную тактику. Оставшись с папой один на один, она сказала ему следующее:

– Папа, мне бы очень хотелось новый телефон, и я знаю, что мама будет возражать, но я надеюсь, у тебя есть САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ мнение.

– Маша, как в лагере?

– Неплохо, мне нравится быть командиром отряда. Если бы только не три оппозиционера, мешающие моей диктатуре.

Маша в очередной раз грохнула что-то на кухне. Папа рявкнул:

– Ты в своем уме?!

Сестра:

– Это вопрос риторический, – и ушла за кулисы.

МММ

Кто-то из старшеклассников в школе моей сестры сказал дома, что надо сдать деньги на выпускной и взял 50 тысяч. Купил доллары. Через три недели продал. 50 тысяч родителям вернул, объяснив, что, дескать, пока не нужно. Прибыль прогулял (много, что ли в этом возрасте надо?) и спьяну разболтал все школьным собутыльникам. Те ринулись к своим родителям. Меры не знали. Цена выпускного у одного предпринимателя выросла до 100 тысяч. Началась инквизиция. Нашли источник заразы. Мама с бабушкой зачинщика, питерские научные работники, устроили шельме товарищеский суд с ограничением в правах. Папа, барыга-спекулянт, после оглашения приговора зашел в камеру и тайно премировал сына десятью тысячами за находчивость.

Откуда берутся дети

Моя коллега застряла на работе. Звонит своей дочке (10 лет) и извиняется за то, что опоздает. В ответ на фразу «Деньги же с неба не падают», принцесса сообщила, что «дети тоже с неба не падают».

Жена

11-летняя дочка моей подруги осталась на даче одна. Выходит из дома – на крыльце змея. Вернулась, взяла топор, зарубила змею. Причем разрубила на несколько кусков. Мама ее спрашивает:

– Зачем так мелко нарубила???

– Рубила, пока части двигаться не перестали… Хорошая жена растет.

Рассказы израильских таксистов о любви

За неделю, проведенную в Израиле, раз дцать пользовался такси. Молчать я всю дорогу не мог, водители тоже. В итоге появилось несколько зарисовок, рассказанных тель-авивскими извозчиками. А кто знает жизнь лучше, чем они.

Не щемит

Спрашиваю:

– Давно здесь?

– Лет двадцать.

– Друзья НЕ из России есть?

– Конечно, и не один, с армии много.

В Израиле ВСЕ служат три года. Не служил – не человек.

– А женщины?

– Нет, только наши.

– Почему?

– Сейчас расскажу:

Еду по бульвару, голосует девушка. Останавливаюсь. Она маленькая, с ней огромный чемодан. Я его еле в багажник запихал. Спрашиваю, куда едем и почему плачем. Оказалось, нужно в аэропорт, а плачет, потому что ушла от мужика и возвращается в Россию.

В общем, история обычная. Приехала с подружкой в отпуск, познакомилась с местным. Хороший парень, умный, красивый, ответственный, полгода друг к другу летали, потом она к нему перебралась. Жили год, но он все замуж не звал. В конце концов, она сказала, что так не может, нужно страну выбирать и вообще будущее. А он промолчал.

Ну, девушка посидела день, поплакала, собрала чемодан и решила домой вернуться. Уходила, он молчал. Только спросил, уверена ли? Хоть бы слезу пустил. Никогда его плачущим не видела.

В общем, привез ее в аэропорт, привычно дал визитку. Она говорит: «Да вряд ли уже», но взяла.

Поехал назад, вдруг звонок. Та пассажирка спрашивает, далеко ли я? Вернулся, щебечет, что парень ей прислал смс с предложением выйти замуж. Снова гружу чертов чемодан, летим обратно, она, конечно, уже счастливая. Болтаем о чем-то. Привез, вытащил чемодан, допер до квартиры. Господи, что она там везла?! Сел в машину. Звонок. Ну, думаю, поблагодарить хочет. Ан, нет. Просит ее забрать. Я уже расслабился, уверен, поедем за кольцом. Оказалось, еще раз чемодан тащить. Она опять в слезах, едем в аэропорт. Спрашиваю:

– Что случилось?!

– Да я зашла, а он плачет, говорит, жить не может без меня.

– А ты?

– А у меня не щемит.

– В смысле?!

– Ну, когда родной человек плачет, щемить должно, а у меня не щемит. Не родной он мне оказался. Ничего не выйдет.

Водитель замолчал.

– Так, а почему с местными женщинами-то не получается? – вспомнил я начало разговора.

– Не щемит.

– У них?

– У меня.

Верующие

В аэропорту садится в машину пара из России. Муж лет пятидесяти, в дорогих очках, надетых на умные глаза, в деловом костюме, голова увенчана кипой. Всю дорогу молчит.

Жена, с лицом настолько славянским, что хочется петь «Калинку-малинку», наоборот, безостановочно болтает в основном о том, как она любит Израиль, иудейскую культуру и особенно религию. Вероятно, уверена, что всех русских встречают агенты Моссада. Рассказала, что едут на бар-мицву и, дескать, как жаль, что в России нет таких праздников… и опять про любовь к иудаизму.

Подъезжают к отелю. Вдруг жена чуть ли не хлопает в ладоши и тычет пальцем из окна.

– Миша! Посмотри, какой я чудесный отель выбрала, прямо рядом с синагогой, будем каждый день ходить!

– Света, ты можешь… ну… просто помолчать, а? – ласково и с нежностью попросил муж.

Палец Светы указывал на знаменитую мечеть.

Еврейский русский патриот

Таксист, узнав, что я из России, поведал о планах посетить Москву в качестве туриста. Я, конечно, начал балалаить, что у нас зимой медведи ходят строем, плевок замерзает на лету, и лучше бы ему летом приехать, и то если шубу купит, так как зеленая зима не многим лучше белой. В общем, заткнуться я не мог минут пять. Наконец, когда мой словесный поток иссяк, водитель рассказал, что уже двадцать пять лет каждые два-три года в декабре прилетает с женой в Москву, берет билет на поезд и едет в Новосибирск. Так что в холоде он разбирается.

Вставив назад челюсть, я спросил только: «ЗАЧЕМ». Оказалось, у него жена из Новосибирска и они как-то давно повздорили о том, что он не знает, что такое холод и не выжил бы в России. И вообще, именно поэтому не может понять жену.

В итоге из его «слабо» и желания понять жену образовалась семейная традиция.

Еще говорит, зимой в Новосибирске можно выпить залпом полбутылки водки и всем ясно – ты не алкоголик, а просто замерз. А водку он любит, но пьет ее только в России.

Спрашиваю:

– А жену-то поняли?

– Нет. Но мы всего тридцать лет вместе, может, попозже и пойму. Хотя, если честно, я не уверен, что надо.

Индульгенция

Конец двухтысячных. Тель-Авив, аэропорт. В такси садится прилетевший из России мужчина за сорок. Небольшой чемоданчик, хитрые живые глаза и спокойная улыбка богатого человека.

– Здорово, иммиграция. Ну что, бомбим? Я в хорошем смысле слова.

– Понемногу. Ну, так сказать, а какова цель вашего визита?

– В морду дать, а потом Иерусалим посмотреть. Святой город. А я тут покрестился недавно.

– А в морду кому?

– Есть тут у меня должник.

Оказалось, в девяностых этот гражданин обнаружил в себе непреодолимую тягу к иудаизму, а особенно к корзине абсорбции (подъемные от государства), и решил перебраться на вновь обретенную историческую родину. Уезжали вместе с другом, оба начали в те годы мошенническую деятельность в России и по привычке решили кое-что контрабандой вывезти в Израиль.

Вдаваться в детали пассажир не стал, но речь явно шла не об оружейном плутонии, а, скорее всего, о лишней валюте или украшениях. В общем, одного из двоих таможенники взяли. Кое-как удалось отскочить от уголовного дела, но иммиграция не состоялась.

– И вот, представляешь, через год наверное, узнаю я, что сдал меня тот дружок, еще накануне стуканув ментам. Может, и к лучшему, я раскрутился, бизнес поднял, весь мир объездил. А недавно дети мне показали сайт «Одноклассники», на котором я случайно своего товарища нашел. Почитал внимательно и понял: нужно ехать бить морду.

– Зачем? У него здесь все хорошо? Лучше, чем у вас? Отомстить хотите?

– Э-эх… Не понимаешь ты в жизни ни хрена. Плохо у него всё. Работы толком нет, да и друзей тоже. В унынии человек пребывает, а это – самый главный грех. И я думаю, все потому, что тяжесть на душе – друга предал. А я сейчас приеду, рожу ему начищу, и он себя сразу простит. Я-то давно уже его простил. Может, в Россию уговорю вернуться, помогу чем смогу. Домой ему пора.

@atsypkin *Twitter. Лучшее из худшего*

Когда идешь по наклонной, встречаешь столько интересных людей, идущих в обратную сторону.

Соцсети создавались, чтобы те, у кого пятеро друзей, обрели сотни. Многие в итоге потеряли пятерых и обрели айфон.

А мне одному иногда кажется, что некоторые адепты толерантности не прочь посадить на кол всех, кто в их понимании недостаточно толерантен?

Сапсан. Буфет:

Я *(задорно и беспечно):*

– А как выглядит десерт «Банановый восторг»?

Официант *(сухо и безнадежно):*

– Как восторг.

Итальянец в Ситибанке на Невском: «Is it possible to process everything without your usual BARDAK?!» Велик и могуч.

В ресторане на Крите задаю идиотский вопрос:

– Что порекомендуете: свинину или рыбу?

Официант:

– Вы видите хоть одну плавающую в этом море свинью?

На президента Ботсваны напал гепард.

Живут же люди.

В Татарстане 61-летняя жена убила 66-летнего мужа СКАЛКОЙ.

Умирают же люди.

Код петербуржца

Петербург мы, разумеется, обожаем. Хотя сам он жителей своих переносит с трудом, и его отношение к горожанам заметно даже плохо вооруженным глазом. Вот представьте себе Париж без людей. Что наблюдаем? Серо-желтые коридоры брошенного замка. Рим без людей.: раскопки, с которых сбежали археологи. Дубай без людей.: город будущего после ядерной войны. Пусто, тихо и страшно. А в какое время суток наш город выглядит лучше всего? Правильно, в «белую ночь», часов в шесть утра. На улицах никого, но чувства одиночества нет, город все равно кажется живым и наполненным. Наш город прекрасен без нас. Отношение к горожанам у Питера, как у благородного кота к хозяину: «Корми, убирай и не мешай. Разрешаю побыть рядом и повосторгаться моей красотой. Будешь плохо себя вести – поедешь в Москву». Но, несмотря на социопатию, город умудряется заманивать на свои улицы интереснейших людей. Они либо выбирают его для своего рождения, либо (если менее

удачливы) приезжают сюда после появления на свет. И если внимательно смотреть по сторонам, то можно встретить тех, кто носит в себе «код петербуржца». И не важно, стоит перед вами гениальный писатель или забулдыга с Лиговского. Код проступает на лбу.

Дама-бомж

Невский проспект. Около двух часов ночи. Я шел пешком от площади Восстания. Где-то в районе Фонтанки рядом со мной из воздуха материализовалась дама-бомж. Описать ее одежду не представляется возможным, но сразу понимаешь, что она бомж и дама в одном лице. В ней было прекрасно все: от туфель до шляпки. Возраст тоже определить было сложно, но думаю, она помнила площадь Восстания еще без нынешней стелы. По направлению ее движения и взгляда стало понятно, что я вызываю ее живой интерес. Изображать фонарный столб с перегоревшей лампочкой было невежливо по отношению к даме и бессмысленно по отношению к бомжу. В итоге я был вынужден выслушать следующее:

– Молодой человек, у меня сегодня чрезвычайно низкое давление, в связи с этим, не могли бы вы купить мне чашку кофе?

«Молодой человек» ответил:

– Осуществить покупку не готов, рад буду профинансировать.

Точку в разговоре поставила женщина:

– Не возражаю, – с достоинством произнесла она.

Интеллектуальный спор

Новогодние праздники. Утро. Люди делятся на тех, кто уже пьяный, и тех, кто еще пьяный. Пересекаю сквер на Манежной, там где памятники знаменитым архитекторам. Не жарко, но в общем и не холодно. На скамейке приютилась парочка. Любят выпить и друг друга. Судя по всему, оба чувства многолетние и взаимные. Возраст – неопределенный, равно как род занятий и, скорее всего, место жительства. Издалека вижу, что диспут идет серьезный, на повышенных тонах и с активной жестикуляцией. Тем не менее лица светятся, а значит, спор философский. Мое появление в сквере не могло остаться незамеченным, так как, кроме памятников и голубей, зрителей у пары не было. И тут я весь такой трезвый.

Они разом замолчали, сфокусировав на мне остатки зрения. Я уверенно топтал снег. Неожиданно на лице мужчины заиграла мысль, и он, выбрав короткую, но кривую траекторию, подкатился ко мне с полукриком-полушепотом:

– Но вот вы-то! Вы! Сразу видно, образованный человек, объясните ей, – он всем телом обернулся к подруге, – что Петропавловский собор построил не Кваренги!

В блестевших выступившим алкоголем мутноватых глазах я увидел надежду на справедливость. Не оправдать надежды такого человека было бы свинством. От неожиданности я сразу забыл,

кто построил собор и что построил Кваренги. Знаток архитектуры смотрел на меня с мольбой, его спутница начинала торжествовать. Мужичонка же словно съежился.

Но тут я достал из широких штанин шайтан-машинку товарища Джоббса. Вопрошавший стал похож на индейца, увидевшего головорезов Кортеса. Пока глаза моего нового друга закатывались обратно, интернет сообщил, что Петропавловский собор построил Трезини. Я рассказал об этом жаждущим истины. Мужик вырос на голову и, словно танк ИС-2, двинулся назад. Подойдя к своей избраннице, он четко произнес: «Ну я же говорил…», затем обернулся ко мне и поклонился.

Сила искусства

Лечу в Петербург. Мое место в середине. Подхожу. Сидящий у прохода пассажир уже откинул столик, поставил комп и отчаянно стучит по клавишам. Думаю: «Вот же болван! чего разложился, если ни мое место, ни место у окна еще не занято?!»

Он быстро все собрал, пропустил меня, и снова все разложил. Печатает. Самолет полный, и очевидно, что место у окна тоже будет занято и придется опять все собирать.

Не удержался, спросил:

– Отчет горит?

– Нет, рифма пришла.

Смотрю в экран – там стихи… неплохие.

Из беседы с петербургским милиционером

«В связи с новым законом о запрете в Питере громкого секса после 23:00, звонки на мобильный с 22:55 до 23:00 считаются хамством».

Она

День святого Валентина. Стою в аптеке на Вознесенском с wish-list от бабушки. За мной девушка:

– Молодой человек, не пропустите барышню? У вас такой объемный список, а мне сущий пустяк – презервативы. Спешу, очень спешу!!!

Тактичный муж

Покупаю подарок крестнице. К миловидной продавщице обращается мужчина лет сорока:

– Нужна игра на развитие эрудиции.

– Сколько ребенку?

– Ребенку-то четырнадцать, но мне нужно лет на двенадцать.

– Может, вы его недооцениваете?

В ответ грустно так:

– С ним-то все в порядке, а вот мою новую жену он все время обыгрывает. А нам на праздники уезжать всем вместе, не хочу ее ставить в неловкое положение.

Добрый полицейский

Гуляем по улице Пестеля, пьем вино из горлышка. Патруль:

– Ну что, молодые люди, поехали оформлять протокол.

– Мы же бутылку в пакет спрятали!

– Из пакета – это в Америке, так что допивайте, ЧТОБЫ НЕ ПРОПАДАЛО, и поехали.

Заботливые…

Оптимистка

(оживший анекдот советского времени)

Ресторан «Мансарда» в Питере. Сижу с очень старшими товарищами, которые, в связи со сложностью обсуждаемой темы, заказали водку с икрой.

После 250 граммов икра иссякла. Официантка смущенно-игриво и слегка виноватым тоном:

– Икра кончилась, но у меня есть чем вас порадовать. Все трое, и даже я, хором:

– Чем?!

– Водка не кончится.

Варвара не даст

Бродил с товарищем по Галерее. Заглянули в обувной отдел. Ботинки так себе, продавщица великолепна. Пока я пытался примириться с безвкусием производителей, мой друг вербовал девушку с табличкой «Варвара». Делал он это весело и профессионально. Наконец я обнаружил что-то приемлемое и обратился к увлеченному другу за советом:

– Бери, Саня, тебе хорошо, Варвара не даст соврать, – и азартно улыбнулся девушке.

Варвара тоже улыбнулась, но по-другому. Она несколько секунд смотрела на ищущего очередное приключение оболтуса, представила себе всю последовательность от первого кофе до последнего смс, взгрустнула, поразмыслила, взвесила и приняла решение:

– Варвара не даст.

Реалист

Из разговора с возрастным петербуржцем:

– Молодость проходит – это полбеды, оказалось – и старость проходит!

Петербургский наезд

Один мой товарищ поведал о милейшей истории. Он живет на третьем (это важно) этаже хорошего питерского дома, с хорошими соседями. На первом (это важно) живет музыкант из Мариинского театра. Товарищ решил «раскрасить вечера», купив караоке. Пел он тихо, вечером, один. Репетировал, так сказать. Через два (это важно) месяца сосед с первого этажа, столкнувшись с ним в парадной, обозначил свою претензию по-питерски иносказательно. «Уважаемый N… N… Я уже два месяца вас слушаю. Поздравляю, вы делаете успехи, начали попадать в ноты».

Ирония судьбы

Гостиный двор. Девушка покупает подарок, оплачивает картой. Очередь из покупающих новогодние подарки тридцать первого декабря волнуется, продавщица гипнотизирует карточную машинку. Тем не менее все зависло.

Через минуту процессор закряхтел, чек начал выползать и кассирша прокомментировала:

– О-о-о, тепленькая пошла.

…опа

Вечер. Ловлю на Невском машину. Останавливается пожилой «форд», в нем пожилой человек.

– До Биржи, пожалуйста. Но там, на Дворцовом, треш, так что, если что, я пешком мост перейду.

– Простите, ради бога, отстал я от жизни. Я правильно понимаю, что чисто семантически «треш» означает «жопа»?

Фаталист

Ухожу из очереди и говорю стоящему за мной и читающему книгу:

– Я вернусь.

Человек, не отрываясь от чтения:

– Кто знает, кто знает…

О Путине

Обгоняю на улице пару бомжей, слышу разговор. Она ему не очень трезвым голосом: «У каждого народа своя судьба, и Путин здесь ни при чем».

Чужой

Я:

– Питер более гомогенный город, чем Москва. Собеседник:

– Это точно, гейский у вас город!

Своя

Кассир в магазине, шепотом:

– Не могу не предупредить, что черничный сок стоит двести пятьдесят рублей, ужас, конечно, извините.

Сдержанность

Интеллигентный, но эмоциональный коллега на совещании: «Ну нельзя на елку влезть и… (посмотрев на дам)… и сидеть потом нормально на стуле!»

Определение

Раннее утро в офисе. Пью кофе. Рассыпал сухие сливки по столу, собрать догадался кредиткой в ровные полоски белого порошка. Входит сотрудница. Зависает. Я тоже. Но с невозмутимым лицом продолжаю сгребать сливки в кофе.

Сотрудница: «Тоже мне, молодежь сусальная!»

Ленинградская дипломатка

«Он так начал меня раздражать, что пришлось имитировать отсутствие оргазма».

Ленинградская учительница

– Хорошая у тебя голова, Цыпкин, а вот жопы, извини за нецензурное слово, нет! А, чтобы добиться чего-то в жизни, жопа нужна!

– Простите, а зачем?

– Простите, чтобы сидеть на ней и зубрить!

Ленинградская мама

Мама, зная про мою аритмию, заботливо предупредила меня перед поездкой на Ибицу:

– Следи за пульсом.

– За чьим?

Мама со снисходительным умилением:

– За чьим сможешь.

Ленинградский друг

«Сань, мог ли я, простой ленинградский пионер, думать, что когда-нибудь получу письмо из Швейцарии с просьбой оплатить штраф за превышение скорости?»

Вежливость

Забираю машину со штрафстоянки, говорю:

– До свидания.

В ответ:

– Здесь это слово не очень уместно, лучше – всего доброго.

Ценности

Друг филолог: «Настоящий петербуржец больше волнуется о том, не найдет ли вернувшаяся из поездки жена пакет из-под семечек, нежели использованный презерватив».

@atsypkin *Twitter. Лучшее из худшего*

Лететь на Марс в один конец согласились уже восемь тысяч человек! Вот ведь кого-то семейная жизнь достала…

Парочка, держащаяся за руки, – это так чудесно, так искренне. Глядя на них, хочется жить! Жаль, на мужской руке кольцо есть, а на женской… нет.

Девушки, когда в интернете смотрят ваши фотографии на море, оценивают купальники. Грудь можно исправить, вкус – нет.

Соцсети – это демоверсия нашей загробной жизни: никаких телесных ощущений, но столько переживаний! А в реальности ничего нет, только твой аккаунт и другие аккаунты, которые нельзя ни поцеловать, ни ударить…

Мы с особым рвением и упрямством пытаемся изменить именно тех, кто согласен принять нас такими, какие мы есть.

Подумалось, что любовь, как радикулит: один раз не вовремя прогнешься, и все – не встанешь.

Made in Москва

На Рублевском шоссе рекламный щит: «Кредит под залог ЧАСОВ»

1. Хорошие здесь часы.

2. Плохи здесь дела.

Московский аристократ

Как вы все знаете, я эксперт в области орфографических эпикфейлов, но однажды я зажег и на литературном поприще. После переезда из Северной столицы в Южную я стал бывать в приличных домах. И вот как-то, пытаясь поразить московскую аристократию питерским изыском и эрудицией, я вступил в литературную дискуссию. Отмечу, что читал я относительно мало, абсолютно бессистемно и не до конца. Тем не менее имена нужных авторов знаю, равно как и названия нужных произведений. Это не раз позволяло мне блеснуть викепедийностью знаний. Но всему приходит конец.

Итак, диалог.

Московский аристократ и литературовед:

– Ты читал «Бойню номер пять»?

От страха я забыл, что я это читал, а страх быть пойманным на деталях парализовал меня вовсе. Дабы не потерять лицо, я равнодушно-устало ответил:

– У Воннегута я читал только «Над пропастью во ржи».

Аристократ на то и аристократ, чтобы не подать виду и продолжить беседу. Через минуту смысл сказанного мною догнал меня, и я, ощущая гирю в животе, проникся особенным уважением к старшим и воспитанным москвичам.

Трудяги

Домодедово. Внутриаэропортовый шалман. Подхожу к стойке. Никого. Но, вроде, какая-то движуха внизу. Бодро и задорно спрашиваю:

– Работаем?

Из-за стойки вылезают три тетки, в резиновых перчатках, чумазые и мокрые:

– Нет, блин, отдыхаем.

Классовая борьба

Одной фразой моя московская подруга сформулировала суть столицы: «Инфинити? Сань, ты чё?! У меня муж эти машины любовницам на прощание покупает, они потом на них в Ашан за картошкой ездят».

Она же: «Пойми, некоторые девушки, как чайные пакетики. Мужчины заваривают их максимум три раза, дальше – ну совсем бесцветно».

Она же: «Саш, бабе разводиться пора, когда она смотрит в зеркало и думает: „Так ему и надо“».

Московская дипломатка

«На первом свидании стал мне рассказывать, какая сука его бывшая. Я сразу ответила, что мой бывший прекрасный человек и отличный любовник. Больше он о своих бывших речи почему-то не заводил».

Врач

– А изнутри вы мне нравитесь гораздо больше, чем снаружи. Скажите, а вы свечами пользовались?

– Только в церкви…

– Продолжайте, но добавим с диклофенаком.

Успех

– Ты, конечно, многого добилась!

– Да я что… вот моя сестра выбилась в люди!

– А кто она?!

– Руководит криминологическим отделом морга.

Сенека

Шереметьево. Контроль. Приложил посадочный талон штрих-кодом к считывателю.

Сотрудница аэропорта подсказывает:

– Не убирайте сразу, это не человек, ему подумать надо.

Мачи

Москва-сити. Какой-то верхнепланктоновский шалман. За соседним столом сидят двое лет по 25–30. От дна оторвались, но якорь запутался, думаю, надолго. Обсуждают барышень, сидящих через несколько столов от них. Те им кокетливо улыбаются, накручивают волосы на палец, теребят вилки и эротично всасывают макароны. Вполне симпатичные. В какой-нибудь Германии королевами красоты стали бы легко.

Диалог щуплых, кислорожных мачо, которые в той же Германии могли бы претендовать лишь на соцпрограмму «Секс из милосердия»:

– Познакомимся с теми мурзилками?

– На хрена? В декабре глупо знакомиться. Скоро Новый год, потом Рождество, потом 14 февраля, потом Восьмое марта. Разоришься. Я, наоборот, всех сейчас выслал и в марте начну возвращать, а эти три месяца я – верный муж.

Осуждаю, но не читал

Увидев на мне футболку Personal Jesus с крестом, купленную мною на концерте Depeche Mode в Германии, московский товарищ родом из КПСС серьезно и язвительно спросил:

– В религию ударился? Ну да, теперь это модно…

Опять свои

Сивцев Вражек. Пожилая пара на пешеходном переходе. Дедушка ринулся на красный.

Бабушка:

– Куда ты пошел? Собьют, и я не уверена, что сразу насмерть.

Ох уж эти москвички

Забегаю в лифт, в котором уже находится барышня. Шучу:

– Подвезешь?

– Дорогу покажешь?

Анти-Масляков

На паспортном контроле в Шереметьево сотрудница очень долго смотрит на мою фотографию в паспорте. Там я с длинными волосами и бородкой. Фотография не очень-то похожа на «оригинал». Наконец, барышня спрашивает, нет ли у меня еще какого-нибудь документа. Я нашел не самое лучшее время, чтобы повыпендриваться, и вяло посоветовал:

– А вы меня в гугле поищите.

– Хорошо, вы в гугл тогда и полетите.

Я быстро нашел в сумке права, свидетельство о рождении, трудовую книжку и флюорографию.

Не судьба

Захожу в отъезжающий в Москву аэроэкспресс. На сиденье, уронив голову на сумку, спит мужик. Даже по его позе видно, что последние несколько часов, а может и дней, он безудержно пил. Думаю, откуда же он прилетел такой расписной и как его вообще в самолет пустили? Приезжаем в Москву. Я его толкаю, он поднимает абсолютно осоловелые глаза и спрашивает:

– Где мы?

– В Москве.

– Уууууу… Все еще не поехали? Ну ладно.

И рухнул спать. Я понял, что «гражданин рассеянный» давно так катается. Но, в ответ на мои попытки его разбудить вновь, он лишь бурчал и ругался.

Ну, значит, не нужно ему лететь. Пусть поспит человек.

Антично

– Какой салат посоветуете?

– Новинка – «Брут».

– Почему он так называется?

– «Цезарь» так достал шеф-повара, что он его убил.

О правде

Услышал прекрасную «московскую» фразу относительно Крыма, хотя и к другим ситуациям вполне применимо:

«Ситуация неоднозначная, но контрольный пакет правды у нас».

ЗК

Домодедово. Скан перед проходом в зону вылета. Если помните, там не обыскивают, а установлена капсула с рентгеном.

Передо мной человек: пальцы в татуированных перстнях, безжалостно-веселый взгляд замутненных, но прожигающих воздух глаз, одеколон «Фаренгейт», черная водолазка. Все понятно.

Заходит в капсулу. Сотрудник аэропорта голосом, значительно более императивным, чем следует в данной ситуации, распоряжается:

– Ноги на знаки, руки поднимите.

«Блатной» медленно расставляет ноги на максимальную ширину, руки заводит за спину, сцепляет их в замок и выламывает вверх. Лбом упирается в стекло и со смехом спрашивает:

– Начальник, так нормально?

Спрашивает с огоньком, по-доброму, но таким голосом, что я думал стекло треснет, равно как и застывшее лицо оператора сканера.

Вежливее нужно быть с людьми. Порезать могут. Чай не Швейцария.

Стерли

Модное место. Лифт. Еду. Гламурные девушки улыбаются. Спрашиваю:

– Какое здесь ближайшее метро?

Физически ощутил свое исчезновение из их реальности.

Мое

Брал сегодня интервью у москвички, задаю вопрос:

– В телефоне мужа случайно увидели смс, которое начинается словами «Привет, котик». Будете дальше читать?

– Да.

– Читаете чужие смс?

– Смс чужой, а котик МОЙ.

Немного Швеции в невской воде

В юности я работал на шведское государство и с этим периодом моей жизни связано множество веселых питерско-шведских историй Но все они как-то не выплывали из недр моей дряхлеющей памяти пока не попал я в стрессовую ситуацию, связанную со словом «Швеция». Этот триггер был таким сильным, что я сам себе напомнил героя фильм. а «Вспомнить все». А начиналась история совершенно по-русски.

Пролог: Антон и духовка.

Сотрудники подарили мне на День рождения поход в Спа. Идти не очень хотелось, но срок действия сертификата заканчивался, и еврейские корни понесли мои ноги в направлении Васильевского острова. Девушка на ресепшене объявила приговор: программа «Второе сердце мужчины», включая шведский массаж. Я не очень образован, но глубоко испорчен, поэтому второе сердце для меня однозначно – предстательна. я железа, а прилагательное «шведский» ассоциируется со словом «семья». В общем, пока я мечтал о том, как две нимфы массируют мое второе сердце, ресепшен грохнул:

– Идите в раздевалку, там вас встретит АНТОН.

«Милонова на них нет », – подумал я и отправился в раздевалку. Антон сопроводил меня на какое-то обертывание для усиления мужской силы.

Сразу вспомнил:

– Абрам, у меня, наконец, перестал стоять!

– И как ты?

– Как гора с плеч!

Так вот, далее Антон выдал мне пакет и сказал: «Наденьте». В пакете оказались одноразовые бумажные стринги… Сразу скажу: я в одноразовых бумажных стрингах – наиболее противозачаточное зрелище из всего виденного мною. Далее меня уложили в капсулу, обмазали мерзкими прованскими травами, завернули в пленку и выставили на пульте температуру. Я не раз пытался представить, как ощущает себя курица в духовке. И теперь понял. Антон нажал еще какие-то кнопки, раздались неприятные звуки, духовка заработала, а мой провожатый собрался на выход.

– А если … – нервно спросил я ему вслед.

– Если – кричи! – и он вышел.

Судя по его дежурному тону, «если» наступало часто. Минут через пять в духовке стало жарковато, и я решил, что пора кричать. Индийская музыка и надпись на экране предлагали мне расслабиться, но горячий пар, кипятивший уды в бумажном пакете, особо расслабляться не давал.

Памятуя, что я в России, а значит:

1. Контроль температуры сломан; 2. Антон уже ушел.

«Курица», извернувшись, вытащила из духовки лапу и выключила пар. Экран вновь предложил расслабиться. Я согласился, но в это время обертывание, обещавшее мужскую силу, подействовало неожиданно. Я весь начал чесаться. А чесаться, если ты «курица» в духовке, очень сложно. Можно только ерзать под расслабляющую индийскую музыку. Через 30 минут Антон выключил адскую машину, а я, счастливый, встал под душ, стянул одноразовые стринги, смыл прованские травы и пошел на шведский массаж. Посещение духовки меня так испугало, что я стал вспоминать все, что знал о Швеции. В голове всплыли две чудесные истории:

Страх и ненависть в Петербурге

Как уже было сказано, начинал я свой карьерный путь с работы на вражеское государство. Ну, чтобы точно знать, как обустроить Россию и не повторить чужих ошибок. Пахал, согласно тысячелетней русской традиции, на варягов. Работу я любил. Она меня не любила, но терпела. Из особо радостных моментов: процедура отказа соотечественникам в заявке на участие в шведских госпрограммах, а также вип-эскорт шведских делегаций. В обеих ситуациях любострастно предаешься «административному восторгу»(с). Не «пущаешь» ни тех ни этих. Россиян в Швецию, сочувственно объяснив их глубочайшую ущербность, ну а шведов за пределы своего визуального периметра, предварительно запугав тем, что у нас по улицам ходят медведи со скальпелями, которые вырезают иностранцам почки и продают вурдалакам-балалаечникам. Это был XX век.

В один из таких «эскорт-дней» я встречал в Пулково-2 группу шведских вредителей в составе пятнадцати человек. Некоторые посещали Россию впервые и даже дышали аккуратно, а в багаже малодушно прятали дрова, тушенку и цианистый калий. Для других это была…дцатая ходка в Нарнию, и себя они считали рейнджерами.

Посадив всех в автобус, я зарядил типичный «велком-текст» про мороз летом, спирт из крана на кухне и выдачу бронежилетов в гостинице. Рейнджеры глумились над вылезающими из орбит глазами «первоходок».

Неожиданно одна из шведок задала вопрос (беседа велась по-шведски, поэтому даю приблизительный перевод):

– А завтрак в отеле будет?

У шведских чиновников скромные зарплаты и еще более скромные суточные, поэтому вопрос имел практический смысл.

– Два раза в неделю, в понедельник и в среду.

Их визит начинался в четверг и заканчивался в воскресенье.

– А почему именно в эти дни? Можно как-то поменять? – обожаемые мною шведы покупались на любой «Кошмар на улице Вязов».

Я насупился и сообщил:

– В эти дни в отеле нет воды, и поэтому, чтобы как-то компенсировать трудности, выдают завтрак. Я могу попросить отключить вам воду, и тогда будет завтрак, – в моих глазах светились находчивость и услужливость.

Дочь викингов зависла и требовала немедленной перезагрузки, а возможно, и замены ОС.

Рейнджеры не сдержали смешков.

– Шучу, завтрак, естественно, включен и это – всем вам знакомый шведский стол, – я не знал, как еще назвать безлимитный завтрак, а каждый советский пионер слышал, что система «ешь, пока не лопнешь» называется именно так. Моя подобострастная улыбка озарила всех капиталистов одновременно. В автобус вошла тишина.

– Какой стол?! – боязливым хором спросили трое «салаг» и один «дембель».

– Шведский… – понимая, что чего-то не понимаю, ответил я.

Другой дембель лениво прогундосил:

– Так русские почему-то называют буфет.

Кто не знает – «шведский стол» везде, кроме России, называют «буфет».

Перезагруженная шведка булькнула:

– Матс, это не смешно!

Мне тоже показалась не очень веселой фраза «русские называют». Я начал что-то подозревать.

– Ингрид, я серьезно. Хорошо еще, что ты не знаешь, что означает у русских «шведская семья».

Рейнджер был близок к оргазму всезнания. Особенно его радовал совершенно озадаченный взгляд вашего покорного слуги. Ведь, опять же, каждый советский пионер знает, что круче

шведского стола могла быть только шведская семья, особенно если ни за то, ни за другое не нужно платить. Швеция, в принципе, казалась мне раем только благодаря этим словосочетаниям. Вечно голодному (в обоих смыслах) и нищеватому питерскому студенту нескончаемая еда и секс казались верхушкой пирамиды Маслоу.

Знающий дембель продолжал:

– Этот культурный феномен, Катарина, ты точно оценишь.

Катарина была в этой команде самой феминистичной.

– По никому не понятным причинам, – продолжал Матс, – русские называют семью, в которой мужчина живет с двумя женщинами, шведской. Если бы они знали, что вытерпеть даже одну шведскую жену почти невозможно, они бы так не говорили.

Шведы засмеялись, громче и короче всех смеялся швед, который приехал с женой. После двух наносекунд своего необдуманного хохота он был превращен взглядом своей супруги в радиоактивный пепел. Наутро Феникс был возрожден из пепла, но, судя по потухшему взгляду, на это раз без члена и языка.

Катарина заиндевела и голосом Терминатора отчеканила:

– Александр, это правда?

В воздухе отчетливо запахло международным скандалом. Обычно Катарина немедленно шла в суд, даже если ей всего лишь подавали пальто в гардеробе. А тут такое общенациональное унижение. Россию она не очень любила. В то время как бабло, которое она выделяла на наши проекты, мы любили очень. Я понимал, что всю беседу в красках изложат моей начальнице, а то, что про шведскую семью начал не я, никого уже волновать не будет. Меня поставят к стенке. СТЕНКЕ! Как же я забыл!

– Катарина, самое смешное, что у нас и «шведская стенка» есть.

– А это еще что такое?!

Перевод стрелки сработал. Ураган «Катарина» изменил направление. Облегченно разжались те, что в Москве называются белым хлебом.

Я занялся подробным объяснением устройства шведской стенки, уроков физкультуры, других уроков в родной школе, системы народного образования, российских вузов, и так, пока автобус не докатился до Невского Паласа.

Вечером за оплаченным шпионами пивом «Балтика три» мы пытались найти причину появления в русском языке абсолютно неизвестных ни одному шведу словосочетаний «шведский стол», «шведская семья» и «шведская стенка».

Матс, неплохо знавший русский язык и русскую историю, мрачно шутил:

– Лучше стоять у шведской стенки, чем у русской.

Я ответил:

– Да скоро у вас в Швеции за мысли о шведской семье начнут ставить к русской стенке.

Карающий меч священного феминизма точили тогда в Скандинавии с особым неистовством.

– Поэтому я и люблю Россию, – лукаво улыбнулся швед мне и официантке. – Если мужик не пожил в России, он вообще непонятно зачем жил. Тебе домой не пора?

Я намек понял и с чувством глубокого патриотизма пошел домой. Но на следующий день меня ожидало не менее серьезное испытание в виде выгула той самой Катарины.

Разрыв шаблона

Девяностые были девяностыми и, несмотря на английскую школу и университет, часть моих знакомых ушла в конкретное флибустьерство с белками и «стрелками». И вот надо же такому случиться, чтобы эта «часть моего окружения» нашла меня в баре, в котором я решил выгулять вышеупомянутую Катарину. Отмечу кстати, что она была хороша собой, я бы сказал, дородна в нужных местах. Так вот, в тот же бар заглянула небольшая «бригада». На мою беду, в ней обнаружился мой «дружок». Мы отсели поболтать о «малых голландцах», но минут через десять, и уже на свою беду, к нашему столику подошла Катарина, чтобы что-то спросить. Получив ответ, она развернулась и удалилась. Глаза братка превратились в две ягодицы. Он спросил:

– Она с тобой?

Я с дуру ответил:

– Да.

– Заходил?

– Куда???

– Куда-куда, в нее!

Я поперхнулся.

– Нет, конечно!

– А я постучусь…

Не успел я осознать всех последствий этого «постучусь», как мой товарищ подошел к скандинавке и без разговоров взял ее крупной ладонью за выпуклые формы. Судя по перекосившемуся лицу, шведка данное ухаживание восприняла как локальную Полтаву. Мой товарищ ретировался, а фемина галопом прискакала ко мне и визжащим шепотом потребовала:

– Вызови полицию! Ты это видел?!

Я изрядно выпил, устал и поэтому, собрав в голове весь свой шведский, рискнул карьерой:

– Через десять лет уже никто так не сделает, наслаждайся.

Я был готов к любому ответу и даже к увольнению, но в шведке, судя по всему, моя фраза поменяла «прошивку». Она порозовела лицом, улыбнулась и задорно ответила:

– У меня целых десять лет впереди, но у нас в Швеции ни у кого яиц не хватит ТАК взять за задницу, потому что гребаные феминистки кастрировали наших мужиков! Как твоего друга зовут?

А что было дальше, не важно. Важно, что хотя бы один вечер эта красивая, умная, но измученная феминизмом женщина почувствовала себя желанной, а не договорившейся. В общем я считаю, что внес в российско-шведские отношения неоценимый вклад и даже, возможно, сделал жизнь наших скандинавских друзей чуть более счастливой или уж по крайней мере запоминающейся.

Ответ ценою в десять лет

«Ужасные времена» со временем обязательно станут «старыми добрыми временами».

На днях обсуждали с отцом судьбу Ходорковского, и я отметил, что он сидит уже ЦЕЛЫХ десять лет. В ответ услышал трагикомическую историю о том, как мой прапрадед затроллил советскую власть.

Как и многие в моей семье, прапрадед прожил почти сто лет, до конца дней сохраняя ясность ума и буйность характера, о чем свидетельствует случай с разбитием табуретки о голову моей девяностолетней прапрабабушки. Мотивом для столь малоизысканной разборки была ревность. Но разговор не о семье, а о политике.

В 1967 году большевики отмечали золотую свадьбу с российским народом и масштабно привлекали трудящихся к торжественным мероприятиям. Прапрадеда сия чаша не обошла, и он был приглашен на торжественный прием районного масштаба. Знатным ленинцем предок мой не был (да и почти все они синхронно почили в 1937 году), пролетарием тоже не числился, но старейшим жителем района являлся.

За это достижение местные комсомольцы позвали дедушку в президиум, чем его немало озадачили. Такое приглашение было сродни участию бывшего мужа в новой свадьбе своей жены. Советскую власть дедушка не любил. Но советская власть, вероятно, об этом не догадывалась. В разгар заседания молодой товариСЧ с карамельной улыбкой запланированно поинтересовался у дедушки, что же стало основной причиной его долголетия. Уверен, все ожидали ответа типа «революция» или по крайней мере «здоровый образ жизни», и уже занесли ладошки для аплодисментов, но все вышло иначе.

Дедушка спокойно встал, с равнодушным лицом сказал, что ничего особенного в его жизни на долголетие не повлияло (большевики тут же скисли). Потом расцвел лицом, как-будто вспомнил что-то важное, и выступил:

– Хотя, конечно, одно событие важную роль сыграло. Гости замерли в ожидании правильного ответа.

Дед взял паузу и «выстрелил» прямо в комсомольца:

– На суде всем по двадцать пять лет дали, а мне всего червонец.

В неприличной тишине дедушка сел на место. Рассказывают, что застывшие в ожидании оваций ладони уже теперь бывшего «будущего партийца» осыпались, как осенние листья. Сам виноват, мог бы и заглянуть в личное дело.

Дед сказал чистую правду, в 30-е он, как и многие, был арестован и отсидел в ГУЛАГе от звонка до звонка. Но десять лет тогда считалось сроком гуманным. Шансов выжить было больше.

Так что, кому ЦЕЛЫХ десять лет, а кому и ВСЕГО десять лет.

Томатный сок

Повесть о женщине из другого времени

Я нечасто видел слезы моих друзей. Мальчики ведь плачут в одиночестве или перед девочками (футболисты не в счет, им все можно). При других мальчиках мы плачем редко, и только когда уж совсем плохо.

Тем острее врезались в память слезы моего друга, внезапно появившиеся в его глазах, когда мы ехали в Москву, и я налил себе томатный сок.

Теперь перейдем к изложению сути дела, веселой и поучительной.

В юности у меня было много разных компаний, они переплетались телами или делами, постоянно появлялись и исчезали новые люди. Молодые души жили, словно в блендере. Одним из таких друзей, взявшихся ниоткуда, был Семен. Разгильдяй из хорошей ленинградской семьи. То и другое было обязательным условием попадания в наш социум. Не сказать, чтобы мы иных «не брали», отнюдь, просто наши пути не пересекались. В 90-е разгильдяи из плохих семей уходили в ОПГ, либо просто скользили по пролетарской наклонной, а НЕразгильдяи из хороших семей либо создавали бизнесы, либо скользили по научной наклонной, кстати, чаще всего в том же финансовом направлении, что и пролетарии.

Мы же, этакая позолоченная молодежь, прожигали жизнь, зная, что генетика и семейные запасы never let us down. Семен, надо сказать, пытался что-то делать, работал переводчиком, приторговывал какими-то золотыми изделиями, иногда «бомбил» на отцовской машине. Он был очень старательным, честным и сострадающим, что в те времена едва ли было конкурентным преимуществом. Помню, сколько мы ни занимались извозом, обязательно находились пассажиры, с которыми Сеня разбалтывался и денег потом не брал. И еще он был очень привязан к родне, с которой познакомил и меня. Семьи у нас были похожи.

Молодые родители, тщетно пытавшиеся найти себя в лихом постсоциализме, и старшее поколение, чья роль вырастала неизмеримо в смутное время распада СССР. Эти стальные люди, родившиеся в России в начале XX века и выжившие в его кровавых водах, стали несущими стенами в каждой семье. Они справедливо считали, что внуков доверять детям нельзя, так как ребенок не может воспитать ребенка. В итоге, в семье чаще всего оказывались бабушки/дедушки и два поколения одинаково неразумных детей.

Бабушку Семена звали Лидия Львовна. Есть несущие стены, в которых можно прорубить арку, но об Лидию Львовну затупился бы любой перфоратор. В момент нашей встречи ей было к восьмидесяти, ровесница так сказать Октября, презиравшая этот самый Октябрь всей душой, но считавшая ниже своего достоинства и разума с ним бороться. Она была аристократка без аристократических корней, хотя и пролетариат, и крестьянство ее генеалогическое древо обошли. В жилах местами виднелись следы Моисея, о чем Лидия Львовна говорила так: «В любом приличном человеке должна быть еврейская кровь, но не больше, чем булки в котлетах». Она была крепка здоровьем и настолько в здравом уме, что у некоторых это вызывало классовую ненависть.

Час беседы с Лидией Львовной заменял год в университете с точки зрения знаний энциклопедических и был бесценен с точки зрения знания жизни. Чувство собственного достоинства соперничало в ней лишь с тяжестью характера и беспощадностью сарказма. Еще она

была весьма состоятельна, проживала одна в двухкомнатной квартире на Рылеева и часто уезжала на дачу, что, безусловно, для нас с Семеном было важнее всего остального. Секс в машине нравился не всем, а секс в хорошей квартире – почти всем. Мы с Семеном секс любили, и он отвечал нам взаимностью, посылая различных барышень для кратко– и среднесрочных отношений. Кроме того, Лидия Львовна всегда была источником пропитания, иногда денег и немногим чаще – хорошего коньяка. Она все понимала и считала сей оброк не больно тягостным, к тому же любила внука, а любить она умела. Это, кстати, не все могут себе позволить. Боятся. Бабушка Лида не боялась ничего. Гордая, независимая, с прекрасным вкусом и безупречными манерами, с ухоженными руками, скромными, но дорогими украшениями, она до сих пор является для меня примером того, какой должна быть женщина в любом возрасте.

Цитатник этой женщины можно было бы издавать, но мы, болваны, запомнили не так много:

«Докторская диссертация в голове не дает право женщине эту голову не мыть». Мы с Семеном соглашались.

«Деньги полезны в старости и вредны в юности». Мы с Семеном не соглашались.

«Мужчина не может жить только без той женщины, которая может жить без него». Мы с Семеном не имели четкой позиции.

«Сеня, ты пропал на две недели, этого даже Зощенко себе не позволял» (писатель, я так понимаю, в свое время проявлял к Лидии Львовне интерес).

«Бабушка, а почему ты сама мне не могла позвонить?» – пытался отбояриться Семен.

«Я и Зощенко не навязывалась, а тебе, оболтусу, уж подавно не собираюсь. Тем более, у тебя все равно кончатся деньги и ты придешь, но будешь чувствовать себя неблагодарной свиньей. Радость не великая, но все же». Семен чуть ли не на руке себе чернилами писал: «позвонить бабушке», но все равно забывал, и его, как и меня, кстати, друзья называли «бабушкозависимый».

«Я знаю, что здесь происходит, когда меня нет, но если я хоть раз обнаружу этому доказательства, ваш дом свиданий закроется на бесконечное проветривание». Именно у Лидии Львовны я обрел навыки высококлассной уборщицы. Потеря такого будуара была бы для нас катастрофой.

«Значит так. В этой квартире единовременно может находиться только одна кроличья пара. Моя комната неприкосновенна. И кстати, запомните еще вот что: судя по вашему поведению, в зрелом возрасте у вас будут сложности с верностью. Так вот, спать с любовницей на кровати жены может только вконец опустившийся неудачник. Считайте, что моя кровать, это ваше будущее семейное ложе». Семен при своем полном разгильдяйстве и цинизме защищал бабушкину комнату, как деньги от хулиганов, то есть всеми возможными способами. Эта принципиальность стоила ему дружбы с одним товарищем, но внушила уважение всем оставшимся.

«Сеня, единственное, что ты должен беречь, – это здоровье. Болеть дорого, и, поверь мне, денег у тебя не будет никогда». Бабушка не ошиблась. К сожалению…

«Сеня становится похож лицом на мать, а характером на отца. Лучше бы наоборот». Эту фразу Лидия Львовна произнесла в присутствии обоих родителей Семена. Тетя Лена взглядом прожгла свекровь насквозь.

Дядя Леша флегматично поинтересовался: «А чем тебе Ленкино лицо не нравится?» – и стал разглядывать жену, как будто и правда засомневался. Проезд по его характеру остался незамеченным. «Ленино лицо мне очень нравится, но оно совершенно не идет мужчине, как и твой характер», – Лидия Львовна либо и правда имела в виду то, что сказала, либо пожалела невестку.

«Я с тетей Таней иду в филармонию. С ней будет ее внучка. Прекрасная девушка, ты можешь меня встретить и познакомиться с ней. Мне кажется, она захочет подобрать тебя, когда ты будешь никому не нужен». Внучка тети Тани подобрала другого. И как подобрала!

«Хорошая невестка – бывшая невестка». Вместе со свидетельством о разводе бывшие жены Сениного отца получали уведомление о наконец свалившейся на них любви бывшей уже свекрови.

«Семен, если ты говоришь девушке, что любишь ее, только ради того, чтобы затащить в постель, ты не просто мерзавец, ты малодушный и бездарный мерзавец». Надо сказать, этот урок мы усвоили. Ну, по крайней мере я – точно. Честность и открытость в помыслах всегда была залогом спокойного сна, быстрого решения противоположной стороны и дружеских отношений в дальнейшем, независимо от наличия эротической составляющей.

«Эх мальчики… в старости может быть либо плохо, либо очень плохо. Хорошо в старости быть не может…»

Впоследствии я встречал немало относительно счастливых пожилых людей и не меньше несчастных молодых. Мне кажется, люди изначально живут в одном возрасте, и когда их личностный возраст совпадает с биологическим, они счастливы. Смотришь на Джаггера – ему всегда двадцать пять. А сколько тридцатилетних, в которых жизненной силы едва на семьдесят? Скучные, брюзжащие, потухшие. Лидия Львовна, как мне кажется, была счастлива лет в тридцать пять – сорок, в том чудном возрасте, когда женщина еще прекрасна, но уже мудра, еще ищет кого-то, но уже может жить одна.

Случилось так, что мне однажды не повезло (точнее, повезло) и я имел счастье общаться с Лидией Львовной в совершенно неожиданных обстоятельствах.

А начиналось все весьма прозаично. Я был отставлен своей пассией, пребывал в тоске и лечился загулом. Из всего инструментария, необходимого для этого, постоянно у меня имелось только желание. Однако иногда мне удавалось так впиться в какую-нибудь сокурсницу или подругу сокурсницы, что появлялся повод попросить у Сени ключи от бабушкиных апартаментов. По проверенной информации, Лидия Львовна должна была уехать на дачу. С ключами в кармане и похотью в голове я пригласил девушку якобы в кино. Встретились мы часа за два до сеанса, и мой коварный план был таков: сказать, что бабушка просила зайти проверить, выключила ли она утюг, предложить чаю, а потом неожиданно напасть. С девушкой мы один раз страстно целовались в подъезде и, судя по реакции на мои уже тогда распустившиеся руки, шансы на победу были велики.

Знакомить подругу со своими родственниками я не собирался, и поэтому представить апартаменты Лидии Львовны квартирой моей собственной бабушки не представлялось мне такой уж проблемой. Фотографию Семена я планировал убрать заранее, но, естественно, опоздал и поэтому придумал историю о неслыханной любви бабули к моему другу, совместных каникулах

и до слез трогательной карточке, которую я сам сделал, и поэтому меня на ней нет. Селфи тогда не существовало.

Все шло по плану. Подруга так распереживалась насчет утюга, что я еле успевал бежать за ней. Мне вот интересно, если нас создали по образу и подобию, значит, Бог тоже когда-то был молод и вот так бежал по небу… В общем, лестница была взята штурмом с остановками на поцелуи. Конечно, эти юношеские страхи (а вдруг не согласится) заставляют нас так торопиться, что иногда именно спешка все и разрушает. С губами в губах, я стал дрожащими руками пытаться запихать ключ в замочную скважину. Ключ не запихивался. «Хорошее начало» – всплыл в памяти классический каламбур.

– Дай я сама! – Моя любимая женская фраза. Зацелованная девушка нежно вставила ключ, повернула и… дом взорвался. Точнее, взорвался весь мир.

– Кто там? – спросила Лидия Львовна.

– Это Саша, – ответил из космоса совершенно чужой мне голос.

После этого дверь открылась. Не знаю, что случилось в моих мозгах, но экспромт я выдал занятный.

– Бабуль, привет, а мы зашли проверить утюг, как ты просила.

До сих пор не могу понять, как у меня хватило наглости на такой ход. Знаете, у интеллигенции есть прекрасное понятие «неудобно перед…». Объяснить его другой касте невозможно. Речь не о грубости или хамстве в чей-то адрес и даже не об ущемлении интересов. Это какое-то странное переживание, что подумает или почувствует другой человек, если ты сотворишь нечто, что, как тебе кажется, не соответствует его представлениям о мировой гармонии. Очень часто те, перед кем нам неудобно, искренне удивились бы, узнай они о наших метаниях.

Мне было крайне неудобно перед юной подружкой за то, что я привел ее в чужой дом с очевидной целью. И это чувство победило «неудобство» перед Лидией Львовной.

Думала она ровно секунду. Улыбнувшись уголками глаз, «дама» вступила в игру:

– Спасибо, но, видишь ли, я на дачу не поехала – чувствую себя не очень хорошо, проходите, чаю выпьете.

– Знакомьтесь, это… – со страху я забыл имя девушки. То есть совсем. Такое до сих пор иногда со мной происходит. Я могу неожиданно забыть имя достаточно близкого мне человека. Это ужасно, но именно тогда я придумал выход из столь затруднительного положения.

Я неожиданно полез в карман за телефоном (тогда только появились Эриксоны небольшого размера), сделав вид, что мне позвонили.

– Извините, я отвечу, – и, изображая разговор по телефону, стал внимательно слушать, как моя девушка представляется моей «бабушке».

– Катя.

– Лидия Львовна. Проходите, пожалуйста.

Я тут же закончил псевдоразговор, и мы прошли на кухню. Я бы даже сказал кухоньку, тесную и неудобную, с окном, выходящим на стену противоположного дома, но это была, пожалуй, лучшая кухня в Петербурге. У многих вся жизнь похожа на такую кухню, несмотря на наличие пентхаузов и вилл.

– Катя, чай будете?

Лидия Львовна учила ко всем обращаться на «вы», особенно к младшим и к обслуживающему персоналу. Помню ее лекцию:

– Когда-нибудь у тебя будет водитель. Так вот, всегда, я повторяю ВСЕГДА, будь с ним на Вы, даже если он твой ровесник и работает у тебя десять лет. «Вы» – это броня, за которой можно спрятаться от жлобства и хамства.

Лидия Львовна достала чашки, поставила их на блюдца, также достала молочник, заварной чайник, серебряные ложки, положила малиновое варенье в хрустальную вазочку. Так Лидия Львовна пила чай всегда. В этом не было надуманности или вычурности. Для нее это было так же естественно, как говорить «здравствуйте», а не «здрасьте», не ходить по дому в халате и посещать врачей, имея при себе небольшой презент.

Катины глаза приняли форму блюдец. Она тут же пошла мыть руки.

– Э-э-эх, Сашка, ты даже имени ее не помнишь… – Лидия Львовна тепло и с какой-то печалью посмотрела на меня.

– Спасибо вам большое… простите, я не знал, что делать.

– Не переживай, я понимаю, ты же воспитанный мальчик, неудобно перед девушкой, она еще молоденькая, должна соблюдать приличия и по чужим квартирам не ходить.

– Имя я случайно забыл, честное слово.

– А что с Ксеней? – Как я уже сказал, я недавно расстался со своей девушкой. Мы встречались несколько лет и часто бывали в гостях, в том числе у Лидии Львовны.

– Ну, если честно, она меня бросила.

– Жаль, хорошая девушка, хотя я понимала, что все этим кончится.

– Почему? – Ксеню я любил и разрыв переживал достаточно тяжело.

– Понимаешь, ей не очень важны хорошие и даже уникальные качества, составляющие основу твоей личности, а принимать твои недостатки, которые являются обратной стороной этих качеств, – она не готова.

Честно скажу, я тогда не понял, о чем она говорит, и потом еще долго пытался изменить в людях какие-то черты характера, не сознавая, что именно они являются неотъемлемым приданым к восхищавшим меня добродетелям.

Вдруг по лицу Лидии Львовны пробежала тревога:

– Сашенька, ты только с Сеней продолжай дружить, он хороший парень, добрый, но нет в нем ярости, а она должна быть у мужчины, хотя бы иногда. Я очень за него волнуюсь. Присмотришь

за ним? У тебя все в жизни получится, а у него нет, пусть хоть друзья достойные рядом будут. Обещаешь?

Я впервые видел какую-то беспомощность во взгляде этой сильнейшей из всех знакомых мне женщин. Самая большая плата за счастье любить кого-то – это неизбежная боль от бессилия помочь. Рано или поздно это обязательно случается.

Катя вернулась из ванной комнаты, мы выпили крепко заваренного чая, поговорили о чем-то и ушли.

Через неделю Лидия Львовна умерла во сне. Сеня так и не успел к ней заехать, потому что мы опять куда-то умотали на выходные.

Месяца через два мы поехали с ним в Москву. «Красная стрела», купе, целое приключение для двух оболтусов. В нашу келью заглянул буфетчик, и я попросил к водке, припасенной заранее, томатного сока.

Открыл, налил полный стакан и взглянул на Сеню. Он смотрел на мой сок и плакал. Ну, точнее, слезы остановились прямо на краю глаз и вот-вот должны были «прорвать плотину».

– Сенька, что случилось?

– Бабушка. Она всегда просила покупать ей томатный сок.

Сеня отвернулся, потому что мальчики не плачут при мальчиках. Через несколько минут, когда он вновь посмотрел на меня, это уже был другой Сеня. Совсем другой. Старее и старше. Светлый, но уже не такой яркий. Его лицо было похоже на песок, который только что окатила волна. Бабушка ушла, и он, наконец, в это поверил, как и в то, что больше никто и никогда не будет любить его так.

Тогда я понял, что, когда умирает близкий человек, мы в одну секунду испытываем боль, равную всему теплу, какое получили от него за бесчисленные мгновения жизни рядом.

Некие космические весы выравниваются. И Бог, и физики спокойны.

Приложение, или Bonus Track

Волга-волга. Римейк 2009

Записки неожиданного путешественника

Волга

Путешествие проходило по «великой русской реке» (с этим словосочетанием я просыпался и вставал двенадцать дней…). Сразу хочу сказать – Волги больше нет (по крайней мере до Казани). Есть сеть соединенных между собою искусственных озер, появившихся по воле КПСС. А в тех местах, где Волгу не тронули, она весьма узкая и совершенно «не великая» река, хотя и действительно живописная. Уже Невы даже. А вот эти озера… На самом деле это

водохранилища, созданные путем перекрытия течения Волги и затопления всего, куда вода могла затечь, пока ее снова не пускали в обычное русло. Во время затопления под водой оказались… нет, не леса и болота, – села и города! Плывешь так по Рыбинскому водохранилищу, восход встречаешь, ощущаешь, наконец, близость к природе и вдруг видишь, из воды – колокольня. Сначала не веришь глазам – вокруг же вода, а потом понимаешь – под тобой город, и холод такой сквозь тело проходит. А ведь там под килем люди жили и умирали. Веками.

Руссо туристо

Понедельник, семейная пара предъявляет претензии руководителю круиза:

– Что за безобразие?! Ни слова о том, где мы плывем! У вас что, зря громкоговорители по всей палубе? Могли бы что-нибудь рассказать.

Среда. Та же семейная пара тому же руководителю, которая теперь регулярно по корабельному вещанию рассказывает о проплываемых нами городах и весях:

– Вы о чем думаете?! Мы что, в университете на лекции?! Что вы на весь пароход свою экскурсию долдоните? Может, мы просто хотим на Волгу посмотреть, а вы утром и вечером: «Посмотрите направо, посмотрите налево».

Из высказываний руководителя круиза (кстати, милейшая женщина и настоящий профессионал)

Ее слова всегда звучали вовремя, и я периодически буду к ним возвращаться:

«Убедительная просьба, сходя на берег, сдавать ключ от номера и потом, возвращаясь на борт, сразу забирать. Поймите, у нас все просто: есть ключ – есть человек, нет ключа – нет человека».

Канал

Чтобы доплыть до Волги, теплоход шел по каналу имени Москвы. Одна из известных строек 30-х годов прошлого века, на которых активно применялся рабский труд. Слово зэк (ЗК), насколько я понял, появилось именно тогда. Если я верно услышал, то ЗК – это аббревиатура от слов «заключенный канала». Канал отстроили в рекордные сроки, и это не просто слова. Объем работы действительно был огромен, равно как и страдания людские. Вот что сказал экскурсовод: «Ни в коем случае не хочу оправдывать Сталина, но в его действиях по крайней мере был некий (хотя и бесчеловечный) рационализм. Все, что построено трудом рабов, до сих пор составляет основу экономики РФ. Правда, непонятно, зачем нужно было гробить собственное образованное население. Почему нельзя было завоевать этих рабов, как делали все приходящие на память империи. Но вопрос не в этом. В 1703-м в дельте Невы началась стройка не менее объемная, чем сталинские, и точно такая же по принципу. Сотни тысяч дешевых рабов из собственного населения. Вот только рационализма в ней было значительно меньше. Зачем было строить город на болоте и оставлять в нем этих рабов, если всего лишь в нескольких километрах выше

по течению (там, где сейчас Большеохтинский мост) разумные шведы за 500 лет до Петра строили город на высоком берегу».

Ребенок в библиотеке теплохода

«Саша, давайте я Вам скажу, что лучше прочесть, тут есть полка – на ней книги, как у нас дома. У нас вообще дома только эти книги. Мама их так любит, а мама только хорошие книжки читает. Пойдемте, покажу». Ребенок привел меня к стеллажу, аккуратно заставленному произведениями Дарьи Донцовой…

Отечественный производитель

Казанский экскурсовод убеждал всю группу, что не купить вершину татарского народного промысла – вышитую тюбетейку – это преступление перед всем татарским народом. Я купил сразу три, с умилением представляя, что мои деньги пойдут на оплату труда местных бабушек. Вечером я, матерясь, отрезал от каждой из них крепко пришитую бирку «Made in China».

Из высказываний руководителя круиза

«У нас принудительная побудка по громкоговорителям на палубе. Просьба их не выламывать. Надоело».

Мышиный маркетинг

Мышкин – город, демонстрирующий чудо маркетинга. В городе, кроме трех тысяч населения и смешного названия, нет ничего. И из названия сделали индустрию. Мышей в городе больше, чем людей. Начинается мышинизация с того, что на причале гостей встречают цыгане с песней «Эх, раз!» в костюмах… мышей. Далее ряды сувенирных мышей из глины, дерева, стекла и т. д. Потом музей мыши, мышиная мельница, мышкины палаты и что-то еще на ту же тему. Людей, проводящих свое рабочее время в невообразимых костюмах мелких грызунов, я видел еще много. Дети в восторге, туристы скупают мышей. Реальные мыши такого издевательства над своей культурой вероятно не выдержали. Настоящей полевки я так и не встретил.

Дороги

На одной из мышкинских улиц, которая напомнила, скорее, склад камней, экскурсовод сказал, что до революции это была каменная мостовая, ровная, как паркет, – так плотно и ровно были подогнаны камни. Ничего лучше в плане дорог с тех пор в городе сделано не было…

Про бедных и богатых

Как рассказал мышкинский гид, в городе и до революции было тысячи три народу (я задумался: в доме, где я вырос, проживало две тысячи человек, но речь не об этом). Так вот, на три тысячи населения только купцов первой гильдии было трое. Купец первой гильдии в то время – это серьезно, почти олигарх. Купцы второй и третьей гильдий тоже не бедняки, а их в маленьком Мышкине были десятки. А еще были зажиточные крестьяне, ремесленники и т. д. Дома их до сих пор сохранились. Так что байки о том, что до революции богато жили только дворяне в Петербурге, а остальная Россия представляла целиком сцену пьесы «На дне», – это очередной пиар. Сразу вспомнил растиражированную историю про внучку декабриста, которая спрашивает: «А чего хотят большевики?» Ей отвечают: «Чтобы не было богатых». – «Странно… Дедушка хотел, чтобы не было бедных». Сегодня в Мышкине не то что олигархов, просто состоятельных людей не найдешь.

Из высказываний руководителя круиза

«Ключи от номера, бывает, ломаются. Но если их не ломать, то они ломаться не будут, а если ломать, то будут, так что лучше не ломайте».

Лень во благо

Мышкинский храм не снесли в 1930-е. Причина: оказалось, лень было искать машины, чтобы вывезти будущие развалины. Вот и не снесли. Российское разгильдяйство – основа выживания страны.

Бесплатный хор

В Мышкине впервые столкнулся с повсеместным, как потом оказалось, явлением. Нас привели в небольшую часовенку, где мужской хор исполнил церковное песнопение и что-то из народного. Пели великолепно, просто дух захватывало. Система оплаты простая. Слушателям было предложено оставить на свое усмотрение небольшое пожертвование. Понравилось не только мне – это было видно по глазам, но деньги оставили единицы. Странно. Многие потом объясняли, что это обычный туристический аттракцион, и гордо говорили, что на такой лохотрон не разводятся. Возможно и так, но если ты такой умный, то зачем идешь слушать? Или десять рублей жалко?..

Пляжный волейбол

Как я уже писал, каждый причал – это выставка достижений гостеприимства. Где цыгане в мышиных костюмах, где скоморохи, а где и хлеб-соль. Город Плес решил вопрос по-другому. Прямо у причала разбита волейбольная песчаная площадка, на которой две барышни в бикини перекидывают мяч через сетку. Весь мужской состав нашего теплохода «в открытую» (если смелые или без жен) и «в закрытую» (если с семьей) пожирали глазами девиц, прыгающих в песок. Вот так дешево и наглядно встречают туристов на Волге.

Два рубля

Не помню, какой город, – рыночек у причала. Бабушка продает малину. Спрашиваю: «Почем?» Ответ: «Сынок, вообще-то 18 рублей, но если возьмешь два стакана, то 16». ДЛЯ НЕЕ ДВА РУБЛЯ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕНЬГИ.

Сдача

Такой же рынок. Девушка продает землянику. Спрашиваю, почем. Ответ: «70 рублей стакан». Я забираю стакан и отдаю сотню. Девушка поискала сдачу и, немного стесняясь, предложила: «Сдачи нет, возьмите два стакана за сто, хорошо?»

Из высказываний руководителя круиза

– На причале в городе N. вы увидите лотки с копченой рыбой. Пахнет фантастически, выглядит вкусно… – В этот момент она мечтательно посмотрела вдаль, вероятно, представила кусок этой рыбы у себя на тарелке, потом собралась и, заморозив лицо и речь, продолжила: – Покупать не надо. Врач у нас один.

На законный вопрос оторопевших туристов: «А что, отравимся?» она не менее строго сказала:

– Да, случаи были, хотя, скажу честно, отравление рыбой полностью зависит от качества и количества пива…

Рыбу я так и не купил.

Судьба

В городе Мышкине есть небольшой мемориал в память о героях войны. Часть композиции – барельефы с Героями Советского Союза. Примечательна судьба одного из них. Прошел всю войну, совершал безумные по смелости вылазки. Закончил войну в Берлине. За четыре года ни одного ранения. Погиб по дороге домой в ДТП.

Ярославский юморист

Гид в городе Ярославле заслуживает отдельной страницы. С одной стороны – блестящее знание материала, неординарное собственное мнение, с другой – формулировки, от которых, как говорила моя учительница химии, «хоть стой, хоть падай».

«Купцы такие-то были в большом почете, так как являлись СПОНСОРАМИ династии Романовых». Хотел бы я пакет увидеть спонсорский. Кстати, как потом выяснилось, спонсорский взнос и тогда платили бартер + деньги.

«Город и округа были богатые, но в Смутное время многое поляки разорили, но, в основном, простые русские люди разграбили».

«Сейчас идет реконструкция здания нашей Думы. Главная задача – чтобы у каждого народного избранника был в кабинете свой туалет».

«Это было еще в демократический период нашей истории, то есть в 1990-е».

«Патриотизм, поддержанный финансово, – это всегда более яркий патриотизм».

Особое внимание уделю тому, как ярославский гид описывал фрески одного из местных храмов. Сразу отмечу, что детей в группе было немного, в основном взрослая и образованная публика. Тем колоритнее звучат следующие слова: «Фрески – это как комиксы: кто куда пошел, кому что сказал. Вот, например, посмотрите на левую фреску. Приходит архангел к Деве Марии и говорит: „Будешь матерью Мессии“. Ну, Дева Мария как настоящая женщина сначала отказала, потом все-таки согласилась. С Иосифом в следующем эпизоде оказалось немного сложнее, он никак не мог понять, чего от него хотят».

После такого описания группа наша даже перестала смеяться, так как все находились в предвкушении кульминации такого вольного изложения Библии. И мы дождались… Пройдя к другой стене, на которой были изображены сюжеты из загробной жизни, наш Эзоп хитро улыбнулся и произнес: «А вот на этой фреске вы можете увидеть, что ждет каждого из вас. (Можно подумать, его не ждет.) Из этих изображений следует, что каждый, кто много работает и плохих дел не делает, попадает куда???»

Тут Эзоп прищурился, как Ленин в детских книжках, обвел вопрошающим взглядом уже совершенно сбитых с толку атеистов и верующих, задержал дыхание (как и все мы вместе с ним) и всех успокоил: «Правильно! В рай! Переходим в следующий зал».

Вспомнил: «А того, кто плохо кушает, заберет Баба-яга».

Памятники рукотворные и нерукотворные

Никогда нельзя недооценивать народный юмор. Он может убить любую идеологию. В Ярославле на центральной площади недавно поставили памятник основателю города Ярославу Мудрому. Стоит он, держа на ладони макет будущего города, который, как я понял, чуть ли не сам сделал. Выглядит, как мальчик из «Лего», пришедший к папе хвастаться. Но народ пошел дальше.

За Ярославом на площади расположена кондитерская фабрика. Ярославцы прозвали монумент «Мужик с тортом».

В Рыбинске экскурсовод сообщил, что мы едем смотреть памятник «Ленин в Зимнем». В нашей группе у многих разыгралось воображение: как же выглядит такой монумент в Рыбинске? Автобус остановился, мы вышли и увидели… обычного Ильича в зимней шапке и в пальто с воротником. Браво, рыбинцы!

Странный герб

По легенде, Ярослав Мудрый зарубил секирой в местных лесах какую-то важную медведицу, наводившую ужас на округу. Герб Ярославля выглядит так: медведица бодро вышагивает, заправски держа на плече… секиру. Как спросил Филипп Филиппович Преображенский у тов. Швондера: «Простите, кто на ком стоял?»

Из высказываний руководителя круиза

«Просьба не курить в каютах. Теплоход весь выгорает за 30 минут. Целиком».

Нет, я все понимаю, но его что, специально строили из такого материала, чтобы как бенгальский огонь???

Опять власть меняется

Помните, как, по-моему, в «Неуловимых…» или в «Свадьбе в Малиновке» один герой все время менял буденновку на фуражку с кокардой. Так вот, в Ярославле в начале улицы обычно висит табличка с перечнем всех названий, которые менялись у данной улицы на протяжении всей бурной российской истории. У одной из улиц названий оказалось пять. Голосуй сердцем!

Звон из Малины

Как я узнал в Ярославле, малиновый звон к малине не имеет никакого отношения. Есть в Бельгии город Малина (Малена), знаменитый своими колоколами. Вот откуда такое «ягодное» название.

Мне два «Молотова», п-ста

Во время войны финское изобретение – легковоспламеняющаяся жидкость под гламурным названием «Коктейль Молотова» – получило широкое распространение. В Ярославле его производили особенно много. Выпускал этот «напиток»… местный ликеро-водочный завод.

Из высказываний руководителя круиза

Вопрос от пассажиров:

– Простите, а нет ли на теплоходе стола для настольного тенниса?

Ответ:

– Нет. Равно как и кортов для большого тенниса и площадки для гольфа.

Сразу вспомнил Бендера:

– А что, невесты в городе есть?

– Кому и кобыла невеста.

– Вопросов больше не имею.

Сельский фанк

Город Чкаловск по размеру и достопримечательностям похож на город Мышкин. Только там – культ мышей. Здесь – культ Чкалова. И, в общем, всё. Но чкаловцы, вероятно, решили добавить немого русского колорита и предложили прибывающим экскурсию в Дом ремесел. Экскурсия эта требует отдельного описания. Градостроительно Чкаловск похож на садоводство, у которого в центре есть маленький район «хрущевок». От причала к «хрущевкам» ведут обычные садоводческие улицы. И вот представьте, как по такому сельскому проспекту идут гуськом (по двое не влезть на тропинку) семьдесят (!) буржуазно одетых туристов, а впереди – экскурсовод с мегафоном. По обе стороны дороги из ветхих домов начинают вылезать жители, чтобы поглазеть на эту демонстрацию. Я не сразу понял: это нам показывают Чкаловск или нас показывают Чкаловску? Дети, сидящие на заборе, отпускали соответствующие шутки, а одна из наших туристок сказала, что именно так представляла себе проход пленных немцев.

Сначала было смешно, а минут через сорок этого марафона те, кому за шестьдесят (некоторые дамы были на каблуках), сообщили, что дальше не пойдут, и вообще, по их мнению, Сусанин жил в Костроме, а не в Чкаловске. После небольшого стоячего привала, точнее в силу узости тропы, это выглядело, как пробка на дороге, мы пошли дальше и вошли в центр города, напомнивший мне микрорайон на проспекте Ветеранов, но только в сильно запущенном состоянии. Как говорилось выше, шли мы в Дом ремесел и представляли себе русскую избу с изразцами и т. д. В микрорайоне подобного сооружения не наблюдалось, и мы решили, что изба за ним. Каково же было удивление, когда мы вдруг остановились у одного из подъездов «хрущевки». Из подъезда вышли три заспанные барышни, одетые в подобия народных костюмов, вынесли советский магнитофон, включили русскую народную песню и начали совершать несогласованные движения с какими-то цветными одеялами. Из окружающих окон тут же выглянули чкаловцы и стали, осыпая тротуар семечковой шелухой, наблюдать шоу, так сказать, из ВИП-ложи. После прелюдии всех пригласили собственно в «дом». Им оказалась трехкомнатная квартира, в которой вышивали и лепили в лучших традициях уроков труда пятого класса. В квартиру, как понятно,

поместились не все. Остальные долго и с юмором обсуждали целесообразность всего похода и решили, что по-другому город Чкаловск мы бы точно не запомнили.

Посреди всего столичного ехидства одна женщина грустно сказала: «А вы проживите на три тысячи, тем более что и за такую зарплату работы здесь нет, тоже будете с одеялами танцевать на глазах у соседей, но не у каждого силы духа хватит». Стало стыдно.

Чкаловск. Комментарий экскурсовода

«Был у нас один завод, который всем работу давал, но его начали делить и уже три года поделить не могут. Вот он и загнулся…» («Так не доставайся же ты никому!» Н. Островский.)

Чкаловск. Комментарий экскурсовода

«Музея Чкалова толком не было, но к какому-то юбилею к нам собрались американцы, и стало неудобно. Сделали полноценную экспозицию с самолетами и машинами. Ждем, когда будет опять „неудобно“ перед иностранцами, чтобы все доделать».

PR по-чкаловски

Знаменитый перелет через Северный полюс (60 часов при температуре минус 25° С в маленькой железной коробке с одним мотором, без шансов выжить в случае любой поломки) совершили три человека. Но большинство знает лишь о Чкалове. Его дочь действительно посвятила всю жизнь пиару (как мы бы сказали сегодня) своего отца. А это заслуживает уважения. Жаль, двум остальным повезло меньше, но их подвиг не менее значим. Их звали Георгий Байдуков и Александр Беляков.

Позиция

В Костроме памятник вождю мирового пролетариата стоит на огромном постаменте, ранее предназначавшемся для памятника трехсотлетию дома Романовых. Кстати, как пишут в учебниках, татаро-монголы после битвы на Калке положили русских пленных на землю, сверху положили доски и на них уже праздновали.

Из высказываний руководителя круиза

«Завтра мы поедем в деревню N. На экскурсию. Можете не брать еду с собой, там угостят топленым молоком и солеными огурцами. Будет весело».

Свои и чужие

(Из речи экскурсовода)

«Российские города разорялись чужеземцами множество раз. Каждый раз их восстанавливали, и они даже становились лучше. Так, чтобы уже безвозвратно потерять возможность к развитию, разоряли нередко свои. Углич – Борис Годунов. Псков – Иван Грозный. Новгород – Иван Третий, а потом добил Иван Грозный. Рыбинск – большевики. В рыбинском музее есть великолепная выставка купеческой жизни. Очень много фотографий купцов, интеллигенции, старательных крестьян, изобретательных рабочих, и у большинства – одна общая деталь биографии. Год смерти–1918. Есть некоторые долгожители, но у них тоже редкое единство – 1937».

«Массовый героизм»

В истории Великой Отечественной войны этот термин используется очень часто, и действительно, читая воспоминания о том времени, понимаешь, что подвиги совершались целыми дивизиями. Вот только иногда героическая гибель этих дивизий была вызвана либо преступными ошибками командования, либо привычкой о цене не думать, даже если цена – жизнь солдата. Под Ржевом (рядом с Волгой, тоже экскурсовод рассказывал) трупы в пять-шесть рядов друг на друге лежали месяцами, а по ним следующие смертники шли штурмовать хорошо укрепленные немецкие доты. Через год, угробив, по мнению многих историков – бесцельно, два миллиона солдат, решили, что, наверное, что-то не так с планированием. Цифра потерь озвучена экскурсоводом и, возможно, ошибочна, но я тоже читал, что под Ржевом погибло больше, чем под Сталинградом. И правду об этой операции стали говорить лишь более шестидесяти лет спустя.

Ценности

(Из речи экскурсовода по Чебоксарам)

«Посмотрите налево, образец русского зодчества – храм, построенный в XVIII веке и восстановленный несколько лет назад. Посмотрите направо – ресторан быстрого питания „Макдоналдс“. Открыт в 2004 году. Вмещает двести человек».

Я не шучу. Так и сказала.

Из высказываний руководителя круиза

«Если берете книгу из библиотеки, возвращайте, и если можете – две, так как до вас многие не возвращали ни одной».

Хотели, как лучше

В одном из волжских городов тоже есть свой «Храм Христа Спасителя», но, в соответствии с господствующей религией, там это – огромная мечеть, построенная совсем недавно. Действительно красиво и так же, как и в Москве, пока ощущение музея, а не места молитвы. Но это, думаю, все-таки вопрос времени. Одна вот незадача. По словам экскурсовода, при постройке выяснилось, что под мечетью кладбище… Говорят, что местные жители в такую мечеть уже не ходят. Остается водить туристов.

Без названия

В Мекке находится Черный Камень. Семикратное прохождение вокруг Черного Камня – главная часть хаджа. Рядом с главной мечетью в Казани тоже стоит камень. Это просто камень, поставленный в честь начала строительства мечети. Ушлые экскурсоводы впаривают доверчивым приезжим мусульманам, что это чуть ли не местный Черный Камень, и можно регулярно наблюдать, как вокруг этого куска бетона искренне верующие в серьезность своих действий совершают несколько кругов. Нет, ну как не стыдно?! Это все-таки не одно и то же, что сувениры продавать китайские…

Номер

Подхожу к церкви в одном из городков. Спрашиваю: «А как войти внутрь?» Прохожий отвечает: «А постучись, батюшка вроде здесь», – и смотрит на припаркованную машину Land Cruiser, Госномер С001СС.

Самовар на войне

В Музее самовара узнал несколько интересных фактов. До революции самовар стоил около 15 рублей (дом в деревне мог стоить 20). Во время войны в Афганистане самовары активно использовались для приготовления пищи. Огня не видно, и ночью солдаты не нарушали маскировки.

Совет

В одной из волжских церквей местная бабушка только что поставленные свечки тушила и складывала в коробочку (побыстрее на переплавку). В другой церкви почти догоревшие свечки бабушка заботливо переставляла в центр, чтобы остальным было удобнее ставить новые, но следила чтобы старые догорели до конца… Эта история как нельзя лучше иллюстрирует мои впечатления от поездки, в которой я увидел и много печального (в основном материального) и немало радостного (в основном духовного). Я бы всем рекомендовал не отбрасывать идею

посмотреть на нашу страну не из окна московского ресторана, а через проем двери церкви где-нибудь в Кинешме или глазами тетушки, продающей ягоды на причале в городе Мышкин.

Андрей Жвалевский, Игорь Мытько

Справочный материал

Родился в г. Гродно (Белоруссия).

В 1991 г. с отличием окончил физический факультет БГУ. После окончания занимался фундаментальной наукой, дизайном ценных и защищенных бумаг, работал в издательстве.

Первая книга «Порри Гаттер и Каменный Философ», написанная в соавторстве с Игорем Мытько, вышла в 2002 году и сразу принесла авторам известность. Кроме цикла «Порри Гаттер» написал серию иронических женских романов «М + Ж» (в соавторстве с Евгенией Пастернак), фантастические романы «Мастер сглаза» и «Мастер силы», два десятка книг по компьютерной графике и др.

Весной 2006 года Жвалевский и Мытько получили национальную детскую премию «Заветная мечта» в номинации «Самая смешная книга» за иронический роман ужасов «Здесь вам не причинят никакого вреда».

Весной 2007 года за этот же роман на конвенте Роскон авторы получили премию «Алиса» (за лучшее фантастическое произведение для детей).

В сентябре 2007 года Жвалевский в соавторстве с Евгенией Пастернак стал финалистом премии «Алые паруса» за рукопись «Правдивая история Деда Мороза». В мае 2008 эта же рукопись отмечена «Малой премией» на «Заветной мечте».

Весной 2010 года повесть «Время всегда хорошее», написанная Жвалевским в соавторстве с Евгенией Пастернак, получила премию «Алиса», а в июне 2011 года заняла третье место во всероссийском конкурсе Книгуру

С 2005 года — член группы сценаристов, которая пишет сценарии для телесериалов, среди которых — популярный сериал «Солдаты».

Автобиография.

Родился 23 ноября 1965 года в г. Жодино Белорусской ССР. С детства мечтал стать известным писателем, но ленился. Учился в четырех школах: 1-й класс — школа №3 г. Жодино; 2-3 классы — школа №15 г. Набережные Челны Татарской АССР (впоследствии — г. Брежнев, впоследствии — г. Набережные Челны); 4-5 классы — школа №29 г. Набережные Челны; 6-10 классы — школа №3 г. Вилейка Белорусской ССР.Закончил школу в 1983 году и тогда же поступил на физический факультет Белорусского Государственного Университета (БГУ, г. Минск). По окончании первого курса в июне 1984 года был призван в Вооруженные силы. Не потому, что плохо учился, а потому, что время было такое — как раз в те несколько лет призывали всех советских студентов. Впрочем, учился тоже не очень хорошо. С июня 1984 года по май 1986 проходил срочную воинскую службу в Забайкальском военном округе (в Читинской области) в войсках связи. Уволен в запас в звании младшего сержанта. В июне 1986 года восстановлен на второй курс физического факультета БГУ. В январе 1987 года отчислен из университета «за нарушение правил внутреннего распорядка, выразившееся в нахождении на территории общежития в состоянии опьянения». Не потому, что много пил, а потому что время было такое — состояние опьянения участковый зафиксировал в ночь с 31 декабря на 1 января.

С марта 1987 года по июль 1988 года работал слесарем на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ, г. Жодино) на участке по сборке капотов для маленьких (до 25 тонн) «БелАЗов».С марта 1987 года начал активно участвовать в деятельности Оргкомитета Дней Физика (Оргкомитет ДФ, что-то вроде юмористического студенческого театра физического факультета БГУ). Принимал участие в подготовке и проведении III и VI Всесоюзных Дней Физика (ноябрь 1987 и ноябрь 1992 года, Минск).Осенью 1987 года в Оргкомитет пришел Жвалевский Андрей Валентинович, и началось творческое сотрудничество Жвалевского и Мытько, которое продолжается уже не первый век.

С 1987 по 1996 писал в той или иной мере юмористические произведения и сценарии для спектаклей Дней Физика, газеты «Знамя Юности», журнала «Вожык», команды КВН БГУ, Белорусского КВН, белорусского радио, белорусского и российского (РТР) телевидения.В июле 1988 года восстановлен на второй курс физического факультета БГУ).С 1988 по 1992 год в составе Оргкомитета ДФ выезжал с концертами в Москву (МГУ), Долгопрудный (МФТИ), Новосибирск, Днепропетровск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань.В январе 1989 года избран сопредседателем Оргкомитета ДФ (вторым сопредседателем избран Жвалевский).В январе 1989 года взял академический отпуск.В июле 1989 года восстановлен на второй курс физического факультета БГУ. (Это последний раз, честное слово!)В мае 1992 вместе со Жвалевским добровольно покинул пост сопредседателя Оргкомитета по причине выслуги лет.В мае 1992 года вместе со Жвалевским и другими, отыгравшими свое, но еще не вышедшими в тираж участниками студенческой самодеятельности физфака, организовал клуб «Репа».В мае 1993 года в составе клуба «Репа» стал чемпионом Белорусского КВН.В июне 1993 года закончил пятый курс физического факультета БГУ и получил диплом по специальности «Теплофизика». По специальности не только не работал, но даже на это не надеялся. Не потому, что ленивый, а

потому что время было сами знаете какое.С 1993 по 1996 годы занимался частным предпринимательством (производство и продажа мягких игрушек). Игрушки были хорошие, а предприниматель — нет. Обанкротился. В 1997 году уехал в Москву.С 1997 года работал в информационном агентстве «Алгоритм» (корреспондент — специальный корреспондент — зам. главного редактора). Писал совершенно серьезные статьи на IT-темы в «Эксперт», «Известия», «Русский Фокус», ZDNet.ru, InterNet, Computer Reseller News, Gazeta.ru, «Комсомольскую правду» (!) и даже в одну энциклопедию (по-моему, «Энциклопедию развлечений» издательства «Аванта+»).

В течение двух лет был главным редактором журнала «Третье тысячелетие» (совместный проект ИА «Алгоритм» и компании «Формоза»). Победил в одной из игр первого тура Кубка «Яндекса» по поиску в Интернет.К 2000 году оставшийся в Минске Андрей Жвалевский уговорил писать книги.В 2001 году вместе со Жвалевским написал сборник юмористических миниатюр «Кусочки». В мае 2002 года вместе со Жвалевским решил написать пародию на книги Джоан Ролинг — «Порри Гаттер и Каменный Философ».В августе 2002 года издательство «Время» получило первые шесть глав «Порри Гаттера» и изъявило желание издать эту книгу.В октябре 2002 года полный текст книги «Порри Гаттер» был сдан в издательство «Время». 18 ноября 2002 года подал заявление об увольнении из «Алгоритма» по причине появления новых интересов и исчезновения прежних. Руководство огорчилось, но «Только через мой труп!» не кричало. Подписали, пожелали, и с 1 декабря отпустили.В конце ноября 2002 года вышел «Порри Гаттер и Каменный Философ». В конце мая 2003 года вышло «Личное дело Мергионы»(Порри Гаттер 2). В конце марта 2004 года вышли«9 подвигов Сена Аесли (подвиги 1-4)» (Порри Гаттер 3.1). В начале марта 2005 года вышла завершающая книга цикла «Порри Гаттер» — «9 подвигов Сена Аесли (подвиги 5-9)»(Порри Гаттер 3.2).В 2003-2004 годах работал редактором в общественно-политических проектах (Фонд Эффективной Политики).

К настоящему времени решил завязать с пародиями, и сейчас вместе со Жвалевским Андреем Валентиновичем пишет новую, ни на что не похожую книгу. Потому что время сейчас такое, настоящее. Ах, да, самое главное. В 1990 году женился, в 2000-м — развелся, в 2000-м — снова женился. Счастлив.

Здесь вам не причинят никакого вреда[80]

– Мама! Мама!
Мальчик лет пяти набирает побольше воздуха:
– Мамаидисюдаскорей!
– Альберт, ну что еще?
На пороге детской появляется заспанный мужчина в пижаме.
– Ну что ты шумишь? Мама спит, маме завтра рано на работу. Мне, кстати, тоже.
– Папа! – громко шепчет мальчик. – А он ко мне ночью не придет?
– Кто?
– Зубастый человек!
– Опять! – вскрикивает папа.
Мальчик вздрагивает. Папа шумно выдыхает.
– Альберт. Мы на эту тему говорили уже тысячу раз. Во-первых, все люди зубастые…

[80] https://profilib.net/chtenie/5402/andrey-zhvalevskiy-zdes-vam-ne-prichinyat-nikakogo-vreda-

– А него огромные зубы! Вот такие! Он придет и – ам! – откусит голову!

– Альберт, никакого Зубастого человека нет. А раз его нет, то и зубов у него нет, и головы, и рук, и ног. Правильно?

Мальчик кивает.

– Ну вот, – говорит папа. – А раз ног нет, то как он к тебе придет?

– А если все-таки придет?

Папа смотрит на часы. Полпервого ночи! Причем полпервого ночи с понедельника на вторник.

– Хорошо. Ты прав. Зубастый человек все-таки есть. Но к хорошим детям он не приходит. Он приходит только к плохим, непослушным, капризным мальчикам, которые и сами не спят, и родителям не дают.

Альберт натягивает одеяло до уровня глаз.

– Значит, он ко мне придет?

– А как же, – говорит папа. – И знаешь, что нужно делать, чтобы он не откусил тебе голову?

– Нет…

– Спать. Крепко спать. Зубастый человек придет, увидит, что ты спишь, и уйдет. Все, спи.

Мужчина поворачивается к двери.

– Папа! Свет не выключай!

– На свет Зубастый человек как раз и приходит, – говорит папа и щелкает выключателем.

Теперь комната освещается только лампочкой в коридоре.

Мальчик смотрит на закрывающуюся дверь, на расплывающиеся в темноте очертания предметов и, как только полоса желтого света превращается в нить и исчезает, сразу закрывает глаза.

"Надо скорей уснуть, – думает Альберт. – Тогда Зубастый человек меня не тронет".

Он зажмуривается так сильно, что в уголках глаз выступают слезы.

Глава 1
Мозги с яблоками

Пастушок так часто кричал "Волки! Волки!", что волки услышали и пришли.

Наблюдение зоолога

Я мыслю, следовательно, умный.

Спиноза. "Умные мысли"

– Завтра финал по рукопашному бою, – сказала Мари. – Шестой отряд против четвертого.

– Наши победят, – сказала Жанна, соседка по комнате, хмурясь на страницы "Полицейского вестника".

– А наши – это кто?

– А кто победит, те и наши.

Мари усмехнулась.

– Беспринципная ты.

– А ты как думала, подруга? – Жанна оторвалась от газеты. – В партнеры надо выбирать победителей, тогда и брак крепкий, и дети здоровые.

– А вот я не согласна. Все люди делятся…

– Правильней будет сказать: "Все люди размножаются". Мы же не амебы.

Мари замолчала и покраснела. Жанна покачала головой:

– И как тебя в полицейские занесло? – Она вернулась к "Вестнику". – Тебе нужно было в ясли, воспитательницей…

Мари и сама не совсем понимала, как ее занесло сначала в пятый отряд, а потом в подразделение 11 Высшей Школы Полиции. Другое дело Жанна, она же Командирша. Для этой решительной девушки не было ничего важнее, чем неукоснительное выполнение законов и

постановлений правительства всеми-подряд-без-исключения-вас-это-тоже-касается-и-нечего-мне-тут-глазки-строить!

Мари же в Школе получила кличку Аленький Цветочек. Цветочек – за красоту, а Аленький – за свойство заливаться краской от самой невинной, с точки зрения будущих полицейских, шутки.

А когда Мари краснела, она начинала злиться, что стало второй причиной выбора профессии. Первой причиной было любопытство – очень хотелось посмотреть на людей, которые добровольно собираются попасть в полицию, да еще и в качестве полицейских. И когда пожилой капрал в приемной очень добрым голосом – тем самым специальным голосом, которым полицейские общаются с заблудившимися детьми – спросил, что она здесь делает, Мари густо покраснела, разозлилась и записалась в стражи порядка.

Полицейская школа оказалась вполне пристойным местом. Науку "ловить и защищать" Мари усваивала без труда, все нормативы по задержанию условных правонарушителей выполняла на отлично, а за первое же учебное патрулирование получила благодарность с занесением.

Хотя случай тот был совсем не учебным, да и к нормативам имел весьма отдаленное отношение. Ну какие могут быть нормативы, если навстречу прет толпа обкуренных экологистов, а у тебя из оружия только свисток и верная подруга?

Мари и Жанна успели зашвырнуть в реку форменные фуражки и кители, пока их не заметили борцы за чистое небо. После чего смешались с толпой и завопили:

– Купаться! Хотим купаться!

– Купаться! – подхватил еще десяток голосов, и колонна, побросав плакаты "Лапы прочь от озона!", полезла в воду.

Напрасно лидеры бегали по набережной и призывали к экологической сознательности. Чтобы не мешали народу отдыхать, пыл вождей радостно охладили водой из реки. Когда подоспел усиленный наряд полиции, большая часть демонстрантов замерзла, протрезвела и разбрелась кто куда.

На торжественном занесении благодарности начальник курса решил живописать подробности подвига курсанток:

– …И тогда храбрые девушки поснимали с себя то, в чем должны были находиться по уставу, – торжественно громыхал старший майор, – и своими, так сказать… э-э-э… находчивыми действиями направили мысли правонарушителей совсем по другому руслу… Курсант Мари! Что у вас с лицом? Не полицейский, а Аленький Цветочек… Что за хиханьки в строю?! Не полицейские, а стадо чудовищ!

Прозвище к Мари приклеилось намертво и, несмотря на все успехи в учебе и бою, так за ней и осталось. Но именно Аленький Цветочек в числе немногих второкурсников прошла отбор в подразделение 11.

Неделю назад, сразу после завтрака, отрядный лейтенант построил курсантов на плацу и тревожно понюхал воздух. Надо отметить, что нос был самой выдающейся частью отрядного лейтенанта, можно сказать, неотъемлемой его частью, которая с успехом заменяла хозяину остальные органы чувств. Спрятанные в спальном корпусе алкогольные напитки лейтенант находил на спор с завязанными глазами. А иногда – и не на спор, а по долгу службы.

Тревожное нюханье не осталось без внимания курсантов. Пятый отряд уже знал, что отрядный обладает уникальным нюхом не только на обычные запахи, но и на неприятности. Поэтому курсанты приняли максимально молодецкий вид. И не зря – через минуту на плац вышел полковник, начальник Школы. Руки он держал за спиной.

– Смирно! – скомандовал лейтенант и отбежал в сторону.

Полковник кивнул и сказал:

– Что должен уметь хороший полицейский? Хороший полицейский должен уметь эффективно действовать в нестандартных ситуациях. Например, таких.

После чего достал из-за спины автомат и открыл огонь по строю.

Кое-кто так и остался стоять смирно. Беднягам здорово досталось: полковник стрелял резиновыми пулями. Многие бросились на землю, но зарыться в бетонный плац не смогли.

Тест на нестандартность прошли только Мари и Жанна. Они метнулись за спину остолбеневшему здоровяку Эдуарду (первая же пуля попала Эдуарду в лоб), приподняли его за

плотно пригнанное обмундирование и с криком, который по громкости соответствовал "Ура!", протаранили полковника.

Когда начальник Школы на носилках отбыл в санчасть, лейтенант сказал:

– Что ж, весьма нестандартно. Закрыть амбразуру грудью раненого товарища…

– Товарищ был уже убит! – отрапортовала Жанна.

– Прямое попадание в голову, ничего не поделаешь, – добавила Мари и покраснела.

Лейтенант тоскливо посмотрел на небо. Его переводили из пятого отряда в подразделение 11с перспективой и дальше командовать Жанной и Мари. Хотя грустил он по другому поводу: подразделение было секретным и для конспирации его фамилию официально сокращали до одной буквы – О. Теперь лейтенант скучал по прежней фамилии, которая состояла из тринадцати букв и начиналась с "З".

Так началась учеба в подразделении 11, или "две дубины", как называли его завистливые однокурсники. Впрочем, на обучение полицейских этот процесс походил так же мало, как выщипывание бровей – на прополку кукурузы.

Перед первым занятием будущие специалисты по нестандартным ситуациям Мари и Жанна грамотно выбрали места в аудитории – у задней стены рядом с окном – и обеспечили себя подсобными предметами в количестве, достаточном для отражения любой нестандартной напасти, будь то атака террористов или нашествие павианов.

Напасть оказалась еще более нестандартной. В аудиторию впрыгнул всклокоченный старичок, который с порога понес удивительную ахинею об остатках древних рас, что до сих пор живут среди людей, отводя им глаза мороками.

– Каждому, кто обезвредит и приведет одного древнего, – кричал лектор, – зачет автоматом! За двух древних – два зачета! За трех – три!

Мари и Жанна уже тихо обсуждали, получат ли они зачет, если бережно обезвредят старичка и приведут его в медицинское учреждение. Но тут параноидальная лекция закончилась, и эксперта по древним расам сменила пышная дама в черном с глазами навыкате.

– Здравствуйте, дети, – сказала глазастая дама. – Я научу вас, как правильно задавать вопросы духам умерших…

Затем пришел, точнее, с трудом пролез в дверь человек, поведавший о глобальном похолодании, в котором выживут лишь люди со стратегическим запасом подкожного жира. Потом появился лысый очкарик с колпачком из фольги на голове и рассказом о психоделическом оружии вражеских спецслужб, которое заставляет людей поступать наперекор своим желаниям. "Например, у меня, – сказал очкарик, – нет никакого желания носить этот дурацкий колпачок". Следом в аудиторию проник обвешанный связками чеснока и укропа худой тип в черной коже, который первым делом потребовал, чтобы все присутствующие отразились в зеркале…

Лекторы менялись каждый час, и с каждым часом подразделению 11 открывали глаза на все более поразительные факты. Они узнали об инопланетянах, вселяющихся в головы высших руководителей с целью подготовить вторжение в головы руководителей среднего звена; о вампирах, по поддельным рецептам скупающих в аптеках гематоген; о параллельных Вселенных, что то и дело пересекаются; о Чужих, которые объединились с Иными против Не Местных…

Будь на месте отборных курсантов… ну, скажем, курсанты неотборные, они бы извелись, извертелись и изрисовали все парты. Но 25 боевых единиц подразделения 11 держались, стойко внимая безумным лекторам и терпеливо ожидая, когда придет лейтенант О. и скажет, к чему все это.

Единственным большим плюсом и дополнительным поводом для зависти других групп стало полное отсутствие в подразделении 11 марш-бросков по пересеченной местности и ночных учебных тревог. Впрочем, за неделю сидения на лекциях большой плюс превратился в маленький плюсик, скорее даже крестик – курсанты соскучились по активным действиям.

– Сил моих больше нет! – сказала Жанна и швырнула "Полицейский вестник" в угол. Потом встала, подняла газету и аккуратно сложила на тумбочке. – Хоть бы тревогу какую объявили.

– Действительно, – поддакнула Мари. – Раз уж мы все равно не спим.

– Эгоистка, – лениво произнесла Жанна, стягивая рубашку. – А почему мы, собственно, не спим? Час ночи. Все хорошие девочки уже спят.

– А плохие что, бодрствуют?

– Все девочки хорошие, – зевнула Командирша, забираясь в постель. – Это мальчики плохие. Вот пусть они и бодрствуют…

"Я сплю… я сплю… я сплю…"

Альберт очень старается. Он считает до сорока, читает наизусть стих про серого волчка, даже пытается себя заколдовать. Ничего не помогает.

Альберт набирается храбрости, высовывается из-под одеяла и быстро осматривает комнату. За последний час он научился проверять комнату правильно. Нельзя вглядываться в черные силуэты, надо просто вспомнить, что на их месте было днем.

"Это не вампир, это мой халат на стуле. Это не паук, это люстра. Это не робот-убийца, это шкаф, и внутри у него ничего нет, только моя одежда…"

Дверь шкафа скрипит и приоткрывается. Альберт захлопывает глаза.

"Я сплю!"

Темнота под веками оказывается не черной. Там движутся лохматые бурые пятна, часто дергаясь в такт грохочущему сердцу. В ушах звенит, но сквозь грохот и звон мальчик слышит, как с тихим шорохом раздвигается одежда в шкафу.

"Я сплю, я сплю, я сплю!"

– Подразделение 11, подъем! Тревога!

Мари и Жанна давно научились одеваться на бегу – пока не начались нестандартные лекции, курсанты только так и одевались. Они даже успели поболтать о долгожданной тревоге.

– Помяни мое слово, – говорила Жанна сквозь зубы, в которых она держала портупею и носок, – сейчас нам объявят, что один из лекторов – серийный убийца, и нам надо за 45 минут его выследить и взять с поличным.

Мари только хмыкнула, потому что ее рот был набит куда плотнее: прорезиненная беретка, прорезиненный плащ и резиновая дубинка. Иначе она бы вслух усомнилась в таком развитии событий – оно было предсказуемым. Что нестандартного в серийном убийце? Обычное, повседневное дело.

На плацу курсантов подразделения 11 ждал полковник – весь в черном, только загипсованная рука ярко белела под лучами прожекторов.

– Все собрались? – как-то не по-боевому поприветствовал он строй. – Хорошо. Это не учебная тревога.

Кто-то во второй шеренге зевнул, не раскрывая рта. Полковник нахмурился.

– Вижу, вы мне не очень верите. Вы думаете, если бы это была учебная тревога, я бы все равно сказал, что она не учебная. Даже не знаю, как вас переубедить. И не стану. Просто буду рад на утреннем построении увидеть хотя бы человек десять.

Взвыли авиационные двигатели. Прожекторы метнулись по плацу и осветили военный транспортный вертолет. Огромные лопасти завращались, рубя лучи и темноту в тревожный коктейль "Щасчтотобудет!".

– Погрузка! – гаркнул лейтенант О.

Летели долго, снижались, поднимались, закладывали виражи. Иллюминаторы в десантном отсеке были задраены, и Мари попыталась по реакции вестибулярного аппарата угадать маршрут.

– Круг сделали! – прокричала она Жанне через двадцать минут.

– Что?! – проревела в ответ Командирша, лишь немного проиграв по громкости реву двигателей.

– Я говорю, круг сделали! – Мари изобразила руками круг, но тут вертолет тряхнуло, и курсантке пришлось для устойчивости махнуть руками, как перелетной птице.

– Да! – закивала Жанна. – Далеко летим! Границу уже точно пересекли! За границу летим, говорю!

Однако в месте высадки заграницы не оказалось. Там вообще не оказалось ничего, кроме бетонного круга в голом поле и пяти микроавтобусов с задраенными окнами. Пилот вертолета пять раз показал растопыренную пятерню. Двадцать пять курсантов сноровисто разбились на пять групп по пять человек и разбежались по автобусам.

– Так-то лучше, – проворчала Жанна, оглядывая свою пятерку. – Терпеть не могу геройствовать в толпе, вечно кто-нибудь вылезет вперед тебя.

– Пять человек тоже, конечно, многовато… – сказала она после получаса подъемов, спусков и виражей.

Микроавтобус остановился, и выскочившие наружу курсанты увидели пять мотоциклов с колясками. Мари и не знала, что такие еще сохранились. За рулем каждого мотоцикла сидел офицер, а пологи колясок были заботливо откинуты. Желание Жанны исполнилось с лихвой – геройствовать курсантам предстояло в одиночку.

Мотоциклы заурчали и разъехались во все пять сторон света. Мари повез лейтенант О.

"Интересно, – думала курсантка, устраиваясь в коляске поудобней, – лейтенант на мотоцикле вертолет догнал, а потом автобус? Надо же, какой натренированный. И даже не запыхался…"

Альберт почти не дышит. Его тело затекло. Не одеревенели только веки, они упругие и резиновые, и все время норовят распахнуться.

Мальчику приходится сдерживать не только веки. Ему очень хочется в туалет. Но он будет лежать неподвижно до утра, когда Зубастый человек уйдет.

Потому что пока Зубастый человек не уходит. Сидит в шкафу и смотрит на него. Зубастый человек хочет убедиться, что плохой, непослушный, капризный мальчик не спит. Что он – законная добыча Зубастого человека.

Альберт уверен, что выдержит. Он не уверен, что выдержит весь. Альберт уже готов сходить в туалет прямо в постели, но боится, что тогда Зубастый человек его раскусит. То есть не его, а его хитрость. Но потом он раскусит и самого Альберта.

Альберт успеет закричать, но мама не успеет прибежать.

Лейтенант О. заглушил мотор, и мотоцикл тихо подкатил к ограде небольшого особняка.

– Итак, Мари. Инструктаж будет краток. Ты не знаешь, зачем тебя сюда привезли, не знаешь, где ты, не знаешь, что тебе предстоит сделать…

– Меня привезли сюда для демонстрации эффективных действий в нестандартной ситуации, разве нет?

– Ну, об этом догадаться несложно, – сказал лейтенант после паузы. – Но ты не знаешь, где ты, не знаешь, что тебе предстоит сделать…

– Я знаю, где я. Это дачный поселок, что с краю соснового леса. А наша школа с другого краю, в четырех километрах отсюда. Мы мимо нее недавно проехали.

– Вот вам и режим секретности, – сказал О. кому-то невидимому. – Тьфу. Ну, по крайней мере, ты не знаешь, что тебе предстоит сделать…

Он с подозрением посмотрел на Мари. Та немного подумала и помотала головой. У нее были предположения, но она решила не расстраивать командира. Все-таки человек готовился провести инструктаж, слова придумывал.

– Ну хоть что-то… – сказал лейтенант и водрузил на нос бинокль. – Твоя цель – комната на втором этаже, окно – крайнее слева. В комнате зафиксирована опасность для жизни гражданского лица. Твоя задача – проникнуть в дом, устранить опасность и вернуться. Гражданские лица, находящиеся в других помещениях дома, тебя заметить не должны. Полная скрытность. Ты меня поняла? Мари? Ты где?

Покрутившись, лейтенант О. присел на коляску и достал специальные бездымные и непахнущие сигареты без никотина.

– Интересно, – сказал он, – она услышала про полную скрытность или скрытно смылась, не дослушав?

О. понюхал спецсигарету для спецопераций и поднял брови.

В комнату Мари проникла незаметно не только для гражданского населения, но и для себя самой. Только что стояла под окном, задумалась, хлоп – и уже в спальне, прижимается спиной к стене. "Нельзя вот так, бездумно, механически относиться к работе!" – отругала себя девушка. Она уже хотела выбраться из комнаты и вернуться в нее осознанно, но решила сначала выполнить задание.

Первым делом следовало определить местонахождение гражданского лица. У гражданского лица должны быть гражданские рот и нос, через которые лицо дышит. Мари затаила дыхание и прислушалась. Мари умела задерживать дыхание на четыре минуты даже во время разговора, но тут это умение не помогло. В спальне никто не дышал.

Зато через четыре минуты глаза полностью привыкли к темноте, и Мари разглядела стол, шкаф с приоткрытой дверцей, стул, кровать и лежащего на ней ребенка лет четырех-шести. Пола мужского-женского. Скорее мужского. Похоже, мальчик спал, хотя нет, не спал – когда спят, то не стараются дышать так бесшумно.

"Ребенок – гражданское лицо. Его нужно защитить от опасности. Или наоборот?"

Мари не испытывала иллюзий в отношении маленьких детей, представлявших немалую опасность для других гражданских лиц. Но поскольку других гражданских лиц в комнате не находилось, видимо в данном случае защищать следовало именно мальчика. Оставался вопрос, от чего. Комната выглядела настолько безопасной, насколько вообще может быть безопасной детская комната.

"Утечка газа? Самовозгорание обоев? Обрушение потолка? Проваливание пола? Кусачие насекомые? Ядовитые змеи? Отравленные простыни? Подушка-людоед?.."

Мари с некоторым усилием остановилась. Она знала, что воображение у нее о-го-го, но будущему эксперту по нестандартным ситуациям не пристало заниматься домыслами. Ей пристало действовать по ситуации, однако ситуация – гражданское лицо пяти лет, которое притворяется, что спит – никаких действий не предполагала. Значит, нужно ждать.

"Впрочем, – подумала девушка, – ждать в такой ситуации как раз и будет стандартным решением. Может, просто подойти к ребенку и выяснить, в чем дело? Только как его при этом не напугать? А! Лучший способ не напугать – это удивить".

– Динь-динь, – громким шепотом сказала она. – Вредную фею вызывали?

Должно быть, мальчик удивился, поскольку повернул голову в ее сторону. Но глаз не открыл.

– Мама? – еле слышно спросил он. – Ты не мама… Ты кто?

– Курсант Мари! – доложила Мари. – Подразделение 11 Высшей Школы Полиции!

Тут мальчик удивился так, что даже открыл глаза, но тут же опять зажмурился. Мари скользнула к кровати и принялась прояснять ситуацию. Спрашивала она тихо-тихо, мальчик отвечал вообще на пределе слышимости, но Мари была очень чуткой девушкой.

– Тебя как зовут? Альберт? Как Эйнштейна? Это такой знаменитый физик… знаешь? Ишь ты. А почему не спишь? А глаза почему не открываешь? Какой человек? Зубастый? В шкафу? Увидит, что не спишь, откусит голову? Ясно. А как твой зубастик выглядит?

– Он совсем как человек, – зашептал Альберт, – только без глаз и у него огромный рот, а во рту – много-много зубов, как у акулы. А папа сказал, что он приходит к детям, которые не спят, а я не спал, а он пришел, а если бы я спал, он бы не пришел…

Мари приложила палец к губам мальчика, внимательно посмотрела в приоткрытую дверцу шкафа и никого там не увидела. Рубашки, брюки, спортивные костюмы. Правда, в какой-то момент, когда она поворачивала голову, на периферии зрения что-то то ли шевельнулось, то ли качнулось. И вроде дверца слегка скрипнула.

Но мало ли что скрипит от сквозняка и мало ли что мелькает в краешке глаза? Кто обращает внимание на периферию? По уму надо включать свет, потрошить шкаф и демонстрировать ребенку полное отсутствие зубастых людей. По уму. То есть действуя стандартно.

Мальчик чего-то боится. Причем так сильно, что его страх, наверное, можно даже почувствовать. Почувствовать?

Мари берет Альберта за руку и…

…действительно чувствует страх. Мальчика бьет мелкий частый озноб, и очень быстро озноб начинается у нее самой. Девушке становится страшно, пока непонятно чего… а, вот уже понятно. Ой, мамочка…

Шкаф не пуст.

В шкафу среди одежды стоит темный человек с плоским лицом. Ни глаз, ни глазниц. Ростом не выше метра, но рот! И точно, как у акулы… Рот распахнут, и оттуда вкривь и вкось торчат большие острые зубы, много-много зубов, один ряд, другой, третий…

Мари закрывает глаза.

– Ты его видела? – шепчет Альберт.

– Да, – шепчет в ответ Мари, стараясь как можно меньше шевелить губами.

– Он может откусить нам головы?

– Такой? Может.

Мари крепко сжимает руку мальчика. В другой руке она сжимает резиновую дубинку. Что она будет делать, когда акулий человек вылезет из шкафа и направится к кровати? Предложит ему резиновую дубинку в качестве жевательной резинки?

"Буду отбиваться и кричать, – решает девушка. – Громко. Глупо погибать такой молодой, но еще глупее погибать, не покричав напоследок".

Некоторое время они молча боятся вместе.

– Одного не пойму, – вдруг говорит Мари. – Что ему за толк от наших голов? Головы ведь невкусные. Одна кость.

– А мозги?

– Да сколько там мозгов…

Альберт протестует:

– Я умный! Я вчера в уме сложил два и восемь.

– И что получилось?

– Десять.

– Десять чего?

– Яблок. Это была задача с яблоками.

– У тебя в уме целых десять яблок? Что ж, тогда твоя голова – лакомый кусочек. Голова с яблочной начинкой.

Мальчик прыскает. Мари открывает глаза и смотрит на шкаф. Альберт открывает глаза и смотрит на Мари.

– Он ушел! Мари, он ушел! Почему?

– Обиделся, наверное. Он там пугает, а мы тут хихикаем.

– Здорово! Ой… Я сейчас…

Мальчик выбежал из комнаты и зашлепал босыми ногами по коридору.

Мари включила фонарик и осмотрела шкаф. Никаких отверстий, никаких следов проникновения. Ну и куда же подевался безглазый коротышка с акульей пастью? Вылез в закрытое окно? Открыл дверь и вышел? И она ничего не услышала? Как такое может быть? Она ведь закрывала глаза, а не уши.

Альберт вбежал в комнату, бросился к Мари, обнял ее за шею.

– А ты правда полицейский? А ты пошутила про вредную фею? Ты добрая фея? Или добрый полицейский? Или добрая фея-полицейский? Ты красивая. А ты завтра придешь? А если он завтра снова придет, ты придешь?

– Обязательно, – сказала красивая фея-полицейский и из вредности добавила зловещим голосом: – Я приду в полночь!

– Потому что нельзя бросать детей в беде?

– В какой такой беде? – подняла бровь Мари. – Что это такое ты выдумываешь? Никакой беды я не заметила. Просто кое-кому надо зубы проредить.

– Ты точно не фея, – заключил мальчик.

На его лице нет никаких признаков разочарования этим фактом.

Глава 2
Десять индейцев

Главное – произвести убийственное первое впечатление.

М. Горгона. "Неотразимая"

Многие вещи кажутся не такими, какими они кажутся на самом деле.

Кажется, Аристотель

Когда Мари вернулась в казарму, соседка уже спала. Спала, закутавшись с головой в два одеяла, хотя раньше довольствовалась одной простыней.

Утром Жанна не накинулась на Мари с расспросами, а непривычно долго рассматривала себя в зеркало. Потом, уже одевшись, минут пять вертела ладонями перед носом, как будто впервые их видела. И только после этого закрыла ладонью один глаз, посмотрела вторым на Мари и сказала:

– Долго рассказывать, понимаешь? Как-нибудь потом. Рада, что ты справилась.

Мари понимала. Ей тоже было бы затруднительно сделать краткое сообщение о том, чем она занималась прошлой ночью. Боялась монстра в шкафу? Готовилась к долгому предсмертному крику? Считала яблоки?

На утреннем построении подразделение 11 не досчиталось половины личного состава. Примерно половины. Осталось то ли 12, то ли 13 человек. Мари несколько раз принималась считать коллег, но в какой-то неуловимый момент сбивалась. Похоже, один курсант присутствовал на построении… как бы не совсем. Не полностью.

–А где остальные? – спросила она у Жанны.

– Провалились, – буркнула Командирша.

– И что с ними стало?

– Ничего. Сделали лоботомию и отчислили.

Мари не поняла, шутит Жанна или говорит всерьез.

Пришел полковник, принялся считать курсантов, досчитал до десяти, просветлел лицом, ушел. Пришел лейтенант О., оглядел строй, вычеркнул 12-13 строчек в командирском блокноте, ушел, вернулся с начальником медчасти. Начальник медчасти осмотрел курсантов, посветил фонариком в глаза, пощелкал пальцами перед носами, попытался ударить Жанну по колену медицинским молоточком, попал в захват, ушел в медчасть лечить вывихнутую руку. Пришел старший майор, начальник курса, привел человек двадцать в черной одежде разных оттенков.

Новоприбывшие – незнакомые офицеры в форме без знаков различий либо со знаками, не упомянутыми в уставах, один человек вроде бы в гражданском, которого никак не удавалось ухватить взглядом, и даже одна дама в довольно легкомысленном, но все равно черном платье – расположились позади майора. Начальник курса забрал у лейтенанта командирский блокнот и принялся распределять людей в черном.

Одни офицеры занимали места напротив курсантов, другие уходили, сокрушенно (а некоторые удовлетворенно) покачивая головами.

Поскольку все это происходило на расчерченном для строевой подготовки плацу, то напоминало шахматную партию. Немного странную партию – ходили только черные, а белые (курсанты в кремовой форме) лишь вращали глазами.

Наконец, старший майор сделал первый ход белыми.

– Курсант Артур! Выйти из строя! Для усиленного инструктажа, своевременной стажировки и в целях прохождения производственной практики поступаете в распоряжение… этого господина.

Мари не видела лица щуплого Артура, но по спине курсанта ей показалось, что тот с трудом сдерживается, чтобы не подпрыгнуть от радости. Впрочем, у него могло просто зачесаться между лопатками. "Этот господин" в военно-морском мундире со знаками различия, похожими на тонущих русалок, сделал приглашающий жест рукой. Артур рванул к моряку так, словно собирался обнять его. В последний момент моряк сделал шаг в сторону, пропустил Артура, дал ему легкий подзатыльник, подпихнул в спину, так они и ушли: все время оборачивающийся Артур и добродушно подталкивающий его моряк с русалками.

Пока Мари думала, что делают моряки в стране, не имеющей выходов к морю, начальник курса прикомандировал не полностью присутствующего курсанта к вроде бы существующему инструктору. Следующей в списке значилась Командирша, которая стояла на месте белого ферзя и жадно всматривалась в лица потенциальных наставников.

– Курсант Жанна! Выйти из строя! Поступаете в распоряжение этого… этой господины… этой госпожи!

Командирша окинула каменным взором платьице "этой госпожи" и посмотрела на лейтенанта. Лейтенант сделал непонимающие глаза. Жанна снова повернула голову к даме в черном. Дама усмехнулась и приложила ладонь к глазу. Жанна тихо ахнула и чуть ли не вприпрыжку бросилась к своей новой наставнице.

Когда очередь дошла до Мари, выяснилось, что она в очереди последняя. На плацу остались только майор, печальный лейтенант О. и ее "этот господин", пожилой усач, единственный человек

в настоящей полицейской форме с нашивками старшего инспектора. Правда, форма была не слишком новой. Увидев, кто ему достался, полицейский скривился, как пьяница при виде безалкогольного пива. Мари немедленно зарделась. Инструктор издал отчетливый вздох страдания, его усы печально поникли. Мари почувствовала, что краска заливает не только щеки, но и уши. Полицейский, поняв, что Аленький Цветочек ему не померещилась, махнул рукой, понурился и зашагал с плаца. Судя по всему, вешаться.

Мари двинулась следом, хотя ноги ее плохо слушались. Тяжело ходить, когда почти вся кровь прилила к голове.

"Прекрати, – приказала она себе. – Что с того, что твой инструктор тебе не рад? Это первое впечатление. Соберись, отвечай четко и ясно, глупых вопросов не задавай, и все наладится".

Однако полицейский, похоже, не собирался предоставлять Мари возможностей ни для четких ответов, ни для глупых вопросов. Инструктор шел, не останавливаясь и не оглядываясь. Они миновали плац, аллею перед столовой, площадку перед штабом, КПП, и тут Мари засомневалась. Она вообще правильно поняла? Может, полицейский вовсе не имел в виду, что ей надо за ним идти? И что он подумает, когда увидит, что она его преследует?

Мари начала потихоньку отставать. И засомневалась еще больше. А вдруг ей все-таки надо следовать за инструктором? И что он подумает, когда увидит, что она куда-то делась?

Мари ускорила шаг, но тут ее охватили новые сомнения. Что он подумает, когда увидит, что она то отстает, то бросается вдогонку?

Полицейский оглянулся и остановился. Что он подумал, увидев стажерку, сомневающуюся в ста метрах позади, осталось загадкой, но гамма отчаяния на его лице определенно дополнилась новыми красками.

Дождавшись, когда Мари приблизится на расстояние приказа, инструктор заметным усилием воли вернул лицо в нормальный вид и сказал:

– Меня зовут старший инспектор Георг. Для друзей – просто… Хм… Друзей-то у меня… В общем, можешь звать меня Начальник. Или лучше Командир. Придумал. Зови меня Шеф.

– Так точно, шеф, господин старший инспектор! – выпалила Мари и – удивительно, но факт – покраснела еще сильней.

Гамма отчаяния на физиономии Георга уступила место маске скорби.

– Ладно, – сказал он, кажется, себе, – все равно это ненадолго.

После чего развернулся и двинулся дальше походкой человека, которому приходится много патрулировать.

Мари прикинула, равносильна ли фраза "Все равно это ненадолго" приказу "Следуйте за мной", и решила все-таки следовать за инструктором, но шагах в пяти позади. Чтобы прохожие думали, что она просто идет в том же направлении.

За прохожих Мари волновалась напрасно. Такое событие, как идущие в одном направлении полицейский и краснолицая девушка в мундире полицейской школы, не стало для ее сограждан поводом что-то там думать. Сограждане вообще славились благодушным отношением к любой ерунде, что творилась вокруг.

Полчаса интенсивной ходьбы по прямым и пустынным, словно специально созданным для пеших прогулок улицам столицы разогнали кровь по положенным венам и артериям. Лицо Мари приняло здоровый привлекательный оттенок, и она почувствовала себя способной задать вопрос, терзавший ее последние двадцать пять минут.

– Разрешите обратиться, шеф, господин старший инспектор?

– Еще раз назовешь меня "господин старший инспектор", – ответил Георг, не оборачиваясь, – и я начну называть тебя "госпожа отличница". Обращайся.

– А зачем вы так далеко припарковали машину?

Инструктор огляделся по сторонам, отыскивая то ли упомянутую машину, то ли свидетелей безграничной глупости стажерки.

– Знаешь что? – наконец сказал он. – Ты, пожалуй, можешь говорить мне "господин старший инспектор". И даже добавлять "его высокопревосходительство".

Мари изобразила глазами и бровями два вопросительных знака.

– Тогда у тебя будет меньше времени на глупые вопросы, – ответило его высокопревосходительство.

Дальнейшая дорога прошла в молчании. Инструктор молча шел, Аленький Цветочек молча злилась сначала на инструктора, потом на себя, потом спохватывалась и снова принималась за инструктора.

"Тоже мне, – думала она, глядя на унылую фигуру впереди, – граф Монте-Кристо. Так его называй, так не называй. Вот дать бы ему пинка, вот бы он подпрыгнул! Да, а потом оглянулся бы, а я бы сказала: "Это не я!". А он бы спросил: "А кто?", – а я бы сказала: "Народ!". А он: "Ты меня пнула, ты не будешь моей ученицей!" А я: "Давайте еще раз пну, чтобы уже точно никогда не встретиться". А он…"

К концу бурного внутреннего диалога Мари успокоилась настолько, что даже перестала злиться. Подумаешь, инструктору она не приглянулась. Пусть сначала он ей приглянется!

Когда центральные улицы сменились улочками пригорода, Георг остановился у большого дерева.

– Мой офис, – сказал он.

Мари задрала голову. Сидевшая на ветке ворона каркнула, выражая нежелание делиться этим офисом с кем бы то ни было. Георг вздохнул, взял Мари за плечи и развернул.

Девушка внимательно изучила офис старшего инспектора и оглянулась на дерево.

– Кар-ряв! – согласилась с ней ворона. Она тоже считала, что ее дерево выглядит менее корявым, чем офис Георга.

Двухэтажное здание стояло с таким трудом, что казалось одноэтажным. Обитая железом дверь выглядела гораздо надежнее, чем приютивший ее косяк. Матовые от пыли оконные стекла, похоже, держались в рамах на одном только страхе упасть в то, что находилось под ними.

Потому что под ними находились: облетевшая со стен краска и осколки черепицы, наводившие на элегические размышления о листопаде, обуглившиеся сейфы, изрубленные в сердцах шкафы, столы с двумя-тремя ножками, несколько ржавых велосипедов без колес, десяток ржавых колес от велосипедов, мотоцикл с коляской, точнее, мотоцикл и коляска… Венчал груду хлама дырявый бронежилет.

Лишь два элемент пейзажа искажали общее впечатление – ровный слой асфальта, на котором покоилась вся эта разруха, и новенький свежеокрашенный забор, видимо, принадлежавший городским коммунальным службам и призванный ограждать не двор от города, а город от двора.

– Удивлена? – спросил Георг. – Раньше вокруг газон был, а потом я сообразил: лучше раз асфальтовым катком пройтись, чем каждый месяц газонокосилкой. И работы меньше, и порядка больше.

"Да, – согласилась Мари, – если сюда еще и газон…"

– Иди строго за мной, – приказал инструктор, открывая калитку. – Здесь где-то капкан может быть… или два капкана…

Внутри оказалось почти уютно. Нет, порядка здесь тоже не было, но и ржавого железа почти не наблюдалось. Зато наличествовали целых пять чуланов – все с приоткрытыми дверями и все совершенно пустые. В отличие от кабинета, доверху заполненного вещами, которым самое место в чулане.

Однако хаотичное с виду нагромождение служебного и личного имущества подчинялось системе. Хозяин офиса перемещался среди причудливо расставленных, развешенных и приклеенных предметов быстро, ловко и почти не задумываясь. Нужные вещи он выуживал из самых неожиданных мест одним отработанным жестом. Например, табурет для Мари он извлек из-под шкафа виртуозным движением стопы.

Правда, это оказался не табурет.

– Что это такое? – сказал Георг.

– Тазик, – сказала Мари.

– Нет…

– Точно тазик.

– Когда я сказал "Что это такое?", я имел в виду "Как это понимать?", – пояснил старший инспектор.

Девушка хотела сказать, что понять тазик – непростая задача даже для опытного философа, но инструктор выглядел таким расстроенным, что она передумала.

– Может, здесь кто-то был, забрал табурет, а взамен оставил тазик?

Георг серьезно посмотрел на Мари, встал на четвереньки и сунул голову под шкаф. Когда курсантка решила, что инструктор застрял, но стесняется в этом признаться, Георг встал, чихнул и довольно произнес:

– Ты права. Про табурет можно забыть навсегда. Ладно, времени у нас мало, начнем без табурета.

Мари проследила его взгляд и от удивления приоткрыла рот. Времени у них был вагон. В дальнем углу кабинета возвышалась целая башня из часов. Там были часы механические, электронные, электронно-механические, механические с электронной системой регулировки хода, а также песочные, цветочные, водяные, песочно-водяные…

Георг цепким взглядом проследил взгляд Мари, которым она проследила его предыдущий взгляд.

– Часы вечно врут, – объяснил он, непринужденно двигая плечом высокие, под потолок, стопки книг, – но никак не могут сговориться. А для меня это отличный тренажер. Тренируюсь, как разбираться во вранье без применения физической силы.

"Наверное, не всегда получается", – подумала Мари, заметив битое стекло вокруг мусорного ведра. Само ведро сияло магазинной чистотой и использовалось для каких-то других целей.

– А что у вас на втором этаже?

– Ничего. Я там сплю.

Девушка представила абсолютно пустую комнату, в центре которой на полу спит старший инспектор. Накрывшись мундиром.

Инструктор выдернул относительно чистый лист бумаги из-под крайней книжной стопки, а почти не поцарапанную ручку – из кофейника и протянул Мари.

– Пиши.

Курсантка примостилась на краю стола, стараясь не нарушить царившую на нем асимметричную гармонию.

– Я готова. А что писать?

– Заявление, – Георг принялся расхаживать по кабинету с закрытыми глазами. Наверное, путь среди шкафов, стульев, коробок и прочей утвари непонятного назначения он находил шестым чувством – как угри дорогу к Саргассову морю. – "Я, такая-то растакая… подтверждаю… что просила принять меня… временно… на замещение вакантной должности… стажера-полицейского… находясь в здравом уме и твердой памяти". Дата. Подпись. Печать. Сам поставлю.

Мари очень хотелось вместо "такая-то растакая" написать "умница, красавица, отличница и специалист высокого класса", но она удержалась от соблазна. Только спросила, протягивая листок:

– А почему должность вакантная? Что стало с моим предшественником?

Георг помолчал, помрачнел, полез в холодильник, который Мари первоначально приняла за сейф.

"Он его съел", – пришла в голову девушки нелепая мысль. "Что за чушь мне в голову лезет!", – рассердилась она. "Говорю тебе, съел! – настаивала мысль. – И тебя съест. Вот только холодильник освободит".

Георг достал из холодильника огрызок шляпы. Мари поняла, что удержаться – выше ее сил. И уж всяко ниже ее любопытства.

– Вы его съели?

– Не съел, а покусал, – сказал Георг, посмотрел на растерявшуюся курсантку и криво улыбнулся. – И не я, а…

– А кто?

Полицейский не ответил. Не глядя, он метнул шляпу на вешалку. Вешалка упала, потревожив несколько килограммов пыли. Георг тем временем извлек пузырек с темной жидкостью и стакан. Подумал и добавил к стакану потемневшую чашку.

– Я не пью, – быстро сообщила Мари.

– Это не пить. Это запивать.

Не дождавшись вопроса "Что?", Георг кивнул на заявление:

– Бумажку-то съесть придется.

Мари молчала. Ей надоело задавать вопросы, на которые в лучшем случае не дают ответа.

– Служба-то секретная, – продолжал Георг, – поэтому все бумаги должны немедленно уничтожаться.

Мари никак не реагировала.

– Но и заявление написать нужно, – в голосе полицейского появилось напряжение, – чтобы порядок был.

Мари даже не мигала.

– Так что будешь каждый день на завтрак писать заявление, а на обед его съедать.

Мари неотрывно смотрела в глаза Георгу.

– Эх, – окончательно расстроился он, – это шутка, понятно? Я пошутил, чтобы смягчить наши отношения, сделать их более теплыми, неформальными. Когда начальник шутит, нужно смеяться. Или делать вид, что веришь. А то сидит тут…

Начальник с чувством захлопнул холодильник, взял заявление и сунул его в картонную папку. Папку он поместил в сейф, замаскированный под прикроватную тумбочку. Взамен шеф вытащил еще несколько папок.

– Предшественники, говоришь, – бурчал Георг, хотя Мари уже давно ничего не говорила, а только преданно пялилась на него. – Как стажировку прошли, спрашиваешь… По-разному. Но все одинаково. Вот, например, аккурат перед тобой прислали мне паренька…

Он открыл одну из папок. Девушке страшно хотелось заглянуть в личное дело ближайшего предшественника, но Георг, конечно, только того и ждал. Поэтому Мари подняла глаза вверх.

– Толковый был. На ерунде погорел. А потом еще раз. Потом втянулся. Короче… Ну, сама понимаешь, – полицейский раскрыл другую папку, потолще. – А это совсем другая история. Этот был стреляный воробей. Он не одну собаку съел. Но на чужой каравай рот не разевал. И все равно обмишулился по полной программе. По ней же и прокололся. А жаль. Да тебе интересно хоть?

– Ага, – ответила Мари, продолжая смотреть в потолок.

– Не "Ага", а "Так точно".

– Так точно, господин старший инспектор, шеф!

Георг поперхнулся.

– Та-а-ак… – сказал он, но мысль не закончил. – Ладно, вот еще один интересный субъект. Он, видишь ли, тоже умным был…

– Так точно, вижу! – отрапортовала Мари. – Капитан Макс, коэффициент "Ай-кью" равен 213, докторская степень по математике…

Полицейский захлопнул папку.

– И давно мы в зеркальный плафон пялимся? – спросил он. – И много мы секретной информации незаконно прочитали?

– Никак нет. Плафон очень грязный.

– Это в целях предотвращения утечки, – пояснил Георг, но папки в сейф вернул. – Будем считать, тест на наблюдательность ты прошла.

Мари моргнула.

– А ты как думала? Будем проверять твою профпригодность.

Георг вытащил белую книжицу, раскрыл, нашел нужную графу и поставил крупную галку. Она напомнила Мари ворону с дерева напротив.

"Сначала на работу принял, – подумала курсантка, – а потом пригодность проверяет".

– Я тут ни при чем, – сказал Георг. – Это все штатные психологи.

"Еще и мысли читает. Вот зануда".

– Думают, по их тестам можно определить пригодность, – продолжал инструктор. – Мне-то сразу видно, что курсант не пригоден. Это если пригоден, не сразу разглядишь.

Георг посмотрел на Мари, видимо, ничего такого не разглядел, и принялся листать брошюрку, бормоча под нос:

– Это и так ясно… этот необязательный… это, будем считать, провели… это у всех одинаковое… Ага! Вот.

Начальник хитро покосился на Мари, ловко выставил локоть и сбил чашку со стола.

У самого пола он успел ее поймать.

– Очень плохо, – сказал Георг, но лицо его дисгармонировало со словами, – тест на быстроту реакции про…

– Никак нет!

– …вален. Никак что? Чашка упала, ты ее не подхватила. Согласно тесту БСТР-1(о), скорость твоей реакции меньше ускорения свободного падения…

– Никак нет! Скорость моей моторной реакции меньше моей скорости анализа объективной ситуации!

– Чего меньше чего? И прекрати никакнеткать.

– Есть прекратить никакнеткать! Разрешите пояснить? Движение вашего локтя сопровождалось необязательными смещением кисти, а также изменением положения корпуса, указывавшим на вашу готовность подхватить чашку, если вы подумаете, что я не успеваю. Просчитав вероятность столкновения передними частями голов в случае моей попытки подхватить чашку и найдя ее более высокой, чем вероятность того, что вы пожертвуете чашкой, я приняла решение продолжить наблюдение, которое впоследствии подтвердило правильность моих выводов!

– Каких выводов? – обреченно спросил Георг. – И сделай милость, говори по-человечески.

– Или это ваша любимая чашка, или это ваша единственная чашка.

– Вот и не угадала, – сказал Георг, – я просто не люблю, когда мусор на полу валяется.

Мари посмотрела на пол.

– Да, – согласился инструктор. – Мусор на полу валяется. Но я этого не люблю. Что же мне про тебя в тесте БСТР-1(о) написать?

– Правду, – предложила Мари.

– Такого варианта тут нет, – сказал Георг, очень довольный тем, что наконец удалось пошутить. – Есть варианты: "Низкая", "Средняя", "Высокая" и "Другое"… Хм… Видимо, как раз для таких случаев. Следующий тест для проверки твоих физических данных…

Он покосился на девушку, смутился и торопливо посадил в несколько граф брошюрки еще полдюжины галок.

– Что там проверять, нормально у тебя все с физическими данными, – сказал он. – Теперь… Что теперь? А. Теперь психология.

Мари никогда не видела, чтобы человек с таким отвращением произносил слово "психология". Георг положил на стол большой лист бумаги с черно-белой картинкой.

– Здесь прячутся десять индейцев. Найди их.

Мари минуту смотрела на переплетение листьев, скал и веток, потом перевернула лист, посмотрела с другой стороны ("Неплохо", – пробормотал Георг), снова глянула на лицевую сторону и воскликнула:

– Нашла!

– Что ж ты врешь, – укоризненно произнес инструктор. – Нет здесь никаких индейцев. Вообще. В этом фокус. В смысле, в этом суть теста: под видом теста на внимательность проводится тест на адекватность. А индейцев здесь нет.

– Индейцы есть! Двое прячутся за этим деревом, – Мари ткнула пальцем. – Трое – за этой скалой. Еще двое – в реке. И трое притаились за кустами, это очевидно.

– Что значит "очевидно"! – возмутился Георг. – Не очевидно, а ничего не видно! Где три индейца за кустами? Это самые обыкновенные кусты, никаких признаков индейцев!

– Конечно никаких, это же индейцы! Знаете, как они умеют прятаться? Я тоже ничего не вижу.

– Тогда с чего ты взяла, что они там?!

– Ну это же идеальная позиция для засады. Куда лучше, чем, скажем, в речке. Они кусты в первую очередь заняли, а кто опоздал, расселись по менее удобным местам: скалам, деревьям… Или вы думаете, они дураки?

– Но почему три? Не два, не четыре?

Мари подняла на инструктора честные глаза.

– Так вы же сами сказали, что их десять. Минус два за деревом, минус три за скалой, минус два в реке. Я в уме быстро вычитаю.

Георг зашевелил губами, что-то высчитывая в уме, почесал нос, буркнул: "Пускай сами разбираются" и отметил галочками сразу несколько вариантов.

– Ну а теперь расскажи о своем самом ужасном детском воспоминании. Если, конечно, твое детство уже закончилось.

– Ой, – курсантка округлила глаза. – Это было ужасно! Мне было пять лет. Ох, я не могу… До сих пор с дрожью вспоминаю!

– Так-так, – подбодрил ее инструктор. – Продолжай.

– Родители отвезли меня с сестрой на лето к бабушке…

– Ага, – Георг взялся за ручку, – так и запишем: "Самое страшное – бабушка".

– Нет, бабушка хорошая. Бабушка дала мне посмотреть старую фотографию дедушки…

– Значит, – инструктор зачеркнул предыдущую запись, – пишем: "Самое страшное – дедушкина фотография".

– Да нет же! Дедушка там был красивый. В военной форме. Бабушка сказала, что это лучшая дедушкина фотография. А я эту фотографию через пять минут потеряла. Вот это был ужас! Я так плакала!

Полицейский подумал, но запись исправлять не стал.

– А самое радостное детское воспоминание?

– А я через полчаса эту фотографию у себя в кармане нашла. Целую и невредимую. Бабушка даже ничего не узнала. Я так радовалась! До потолка прыгала.

Георг записал: "Самое радостное – см. выше".

– Следующий вопрос: "Самый богатый событиями день твоего детства". Кажется, я догадываюсь…

– Да! Я ее еще три раза теряла и находила, так мне нравилось прыгать до потолка!

– Прыгать до потолка, – повторил инструктор.

Он пролистал брошюру, пытаясь найти вопрос, на который у стажерки не нашлось бы неожиданного ответа.

– Бесполезно, – заключил он, сворачивая брошюру в трубочку. – Скажи, пожалуйста, не для протокола, у тебя в детстве действительно не случалось ничего страшней временной потери дедушкиной фотографии? Неужели по ночам тебе никогда не казалось, что из чулана…

Тут Георг смолк на полуслове и повернул голову к одному из пяти своих чуланов.

– У нас не было чулана, – сказала Мари.

– Повезло, – рассеянно произнес инструктор, продолжая вглядываться в чуланную темноту. На его лице появилось недоверчивое выражение, которое вскоре сменилось чем-то вроде мрачного удовлетворения. – Ишь ты, днем вылезли. Свежатинку почуяли, не иначе…

Георг протянул руку и извлек из аптечки блестящий цилиндр, в котором курсантка с удивлением узнала световую гранату.

– Хочешь совет? – спросил он у курсантки и метко швырнул цилиндр в приоткрытую дверь. – Глаза закрой.

В чулане полыхнуло.

– Не любят они этого, – произнес Георг, когда Мари открыла глаза. – Теперь недели две не покажутся. Так что тебе волноваться нечего, твоя практика уже закончится.

– Так быстро? – удивилась курсантка. – Я думала, практика на несколько месяцев.

– Кто много думает, у того все заканчивается очень быстро, – загадочно ответил инструктор. – Отправляйся в Школу, выспись, сбор в полночь под дубом за складом.

– В полночь?.. Извините, я в полночь занята…

Мари почувствовала, что начала розоветь.

– И как раз в эту полночь… то есть в 24:00… я должна к нему прийти… я ему прошлой ночью обещала…

"Он обо мне сейчас черт знает что подумает!" – запаниковала девушка, покраснела еще немного и попыталась все объяснить:

– То есть я не каждую ночь занята, вы не подумайте, а только эту ночь… и то не всю, наверное… то есть, кто знает, как оно повернется… но я постараюсь быстро управиться…

К завершению объяснения лицо Мари стало напоминать государственный флаг Китайской Народной Республики. Только без звездочек.

Георг дождался, пока Аленький Цветочек окончательно умолкнет, и спросил:

– За два часа управишься? Я попрошу злодеев подождать.

Мари отчаянно кивнула.

– Значит, в два ночи под дубом. Свободна.

Уже на крыльце, когда ветерок обдул ее пунцовые щеки и вернул способность соображать, курсантка вспомнила все, о чем она забыла. Забыла расспросить о ночной проверке, которую ей вчера устроили. Забыла уточнить, чем конкретно они будут заниматься. Забыла выяснить, может ли существовать Зубастый человек, и если может, то что это такое.

– Ничего, – сказала Мари ветру, – успею все разузнать. Я тут временно. А "временно" всегда растягивается в "очень долго".

И девушка принялась высматривать в куче велосипедов капканы.

Глава 3
Отдай свое сердце!

В неожиданных ситуациях нет времени на принятие решения. Есть время только на его выполнение.

Из инструкции к секундомеру

Ночью все кошки страшные.

Конфуций

На обратном пути Мари попала под ливень. Она с детства обожала попадать под ливень. Стоило небу за окном затянуться тучами, как маленькая Мари поднимала крик: "Гулять! Гулять! По лужам скакать!".

"И в кого только она такая?" – довольно ворчал папа, набрасывая на широкие плечи желтый дождевик, что всегда висел в прихожей наготове.

"Она такая в меня", – важно отвечала мама, натягивая на длинные ноги резиновые сапоги, большой набор которых всегда располагался под вешалкой с дождевиками.

"Да ну?" – смешно поднимал брови папа.

"Ну да", – еще смешнее морщила нос мама.

"Что вы глупости спорите? – возмущалась Мари. – Я не в тебя и не в тебя. Я в Ирэн!"

Родители усмехались и смотрели на сестру-близняшку Мари – Ирэн, которая грустно теребила край дождевика. Ирэн даже купаться не любила, но отказаться от прогулки в хорошей компании не могла.

У ворот полицейского училища промокшая до последней казенной нитки Мари вроде бы встретила однокурсника, который почти присутствовал на утреннем построении. Впрочем, окончательно она в этом не была уверена. Возможно, она встретила кого-то другого. А может, это был именно тот однокурсник, но встретил он не ее. Или ее, но поклясться в этом Мари бы не смогла.

А если б и смогла, то позже ей было бы очень стыдно.

Девушка вбежала под крышу Школы и зашлепала по коридору, оставляя за собой лужицы. Когда она пробегала мимо спортивного зала, оттуда донесся победный крик, перешедший в предсмертный хрип, без какой-либо паузы вновь сменившийся победным криком. Мари хотела броситься на выручку или наутек, но, услышав аплодисменты, вспомнила. Четвертый и шестой отряды. Финал по рукопашному бою.

"Наши победят", – вспомнила она прогноз соседки и отправилась к себе.

Жанны в комнате не оказалось. Мари выжала одежду, с удовольствием приняла душ и попыталась уснуть.

"Как же я засну, – думала она, взбивая подушку, – когда столько проблем? Первый день стажировки. Инструктор меня не любит. Мальчик меня ждет. Тестирование я испортила. Что делать с Зубастым человеком, непонятно. А интересно, что мои предшественники…"

Проснулась Мари без пяти двадцать три. Она терпеть не могла вставать по будильнику, поэтому всегда просыпалась за пять минут до звонка.

"…что мои предшественники, – продолжила думать она, – делали не так? А старший инспектор Георг в ВШП таким стал или его жизнь таким сделала? И что мне с собой на ночную практику взять? А к мальчику что? Сегодня я там одна буду, безо всякой страховки…"

Мари отключила будильник, соскочила с кровати и тут же запрыгнула обратно. На соседней койке лежала Жанна и сопела. Ее левый глаз был открыт.

– Ты чего не спишь? – прошептала Мари.

– Я сплю, – совершенно не сонным голосом ответила Жанна.

– Извини… А глаз зачем открыт?

– Чтобы видеть.

Мари согласилась с логичностью объяснения, но ей по-прежнему было не по себе.

– Ты его закрой, – посоветовала она, – в два раза быстрей выспишься.

Жанна не ответила, но глаз закрыла.

"Так что же мне с собой-то взять? – подумала Мари, потом немного поразмыслила, то есть подумала без слов в голове, и сама себе скомандовала: – Подъем, тревога!"

Через 45 секунд она уже была полностью одета и укомплектована всеми видами снаряжения, которые выдавались на руки курсантам.

Мари миновала КПП ("На практику", – сказала она, звякнув наручниками; "Удачной охоты", – ответили из окна КПП) и углубилась в ночной лес в направлении дачного поселка.

Лес шевелился, влажно вздыхал, ветки качались, осыпая землю дробями мелких капель. Хорошо!

– Ну вот, – сказала Мари, ступая по упругому серому мху. – Самое время вспомнить все, что я знаю о методах борьбы с ужасами из шкафов и чуланов.

Увы, знала она немного. Фильмов ужасов Мари не смотрела, ужасных книг не читала. То ли дело сестричка-трусиха, которая очень любила бояться понарошку. В детстве Мари часто пугала Ирэн внезапными воплями "Черти летят!" или "Отдай свое сердце!", но страшные истории из фильмов, которые пересказывала сестра, слушала вполуха.

Кажется, припомнила она, какому-то кошмару надо было подсунуть зеркало. Тогда, увидев, насколько он ужасен, кошмар от огорчения умирал. Зеркальце у Мари было, но сам способ показался девушке оторванным от жизни.

Какое-то исчадие ада взрывали вместе с шахтой, где оно окопалось… или откуда выкопалось… в общем, где-то там оно рылось. От этой идеи курсантка отказалась сразу: метод, конечно, эффективный, никаких жалоб от населения, но слишком уж радикальный.

Был еще какой-то обобщенный способ, который формулировался как "Повернуться к страху лицом". Этого Мари вообще не понимала. Ну повернется она лицом, и что? Не такое уж страшное у нее лицо, чтобы Зубастый человек бросился наутек.

Что там еще было? Найти источник зла и уничтожить его. Источник – одежный шкаф, взорвать шкаф. Проехали. Дать злу то, что ему нужно. Что нужно Зубастому человеку? Откусить голову. Дать ему куриную голову? Курицу целиком? Понятно. Использовать против зла его же оружие.

Зло использует шкаф, значит… прищемить зло дверцей шкафа! Гениально! Какое убожество…

"Кошмар с минусом! – поставила себе оценку за знание материала Мари. – Да, подруга, не тем ты в детстве занималась. Эх, Ирэн бы сюда. Вот бы кто сразу, не тратя времени понапрасну… заверещал и забился в угол".

К дому мальчика девушка вышла даже раньше, чем рассчитывала. "И раньше, чем придумала что-нибудь толковое", – с огорчением добавила она.

Мари посмотрела на особняк. Вон ее окно, крайнее слева. А вон там лейтенант О. ждал, выполнит она задание или нет. Девушка приободрилась. Нет, если бы в шкафу была действительно серьезная опасность, ей бы это дело не поручили. Особой деликатностью полицейские не отличались, но всерьез рисковать жизнью гражданских лиц, тем более пятилетнего возраста, они бы не стали.

"Да и вообще, может в шкафу переодетый полицейский сидел? Да хоть тот же Георг! А я, как дурочка, по правде боялась! Ну, это я, положим, хватила. Вряд ли Георг уменьшился до метра, но все равно. Раз я в прошлый раз справилась, то справлюсь и сейчас. Вот только бы сообразить, как… Ладно, на месте разберемся".

Мари привычно проникла в спальню, прижалась к стене, прислушалась и не поверила своим ушам.

Ребенок спал! Спал самым обыкновенным образом, закрыв оба глаза.

Мари глянула на шкаф – никого – села на пол и задумалась. Альберт сказал, что к спящим детям Зубастый человек не приходит. Ну или приходит, видит, что они спят, и уходит. После вчерашней бессонной ночи мальчик точно будет спать до утра, так что она может… А что она может?

Мари посмотрела на наручные часы. 23:54. Ближайшие два часа придется заниматься непонятно чем.

"Буду сидеть, – решила Мари. – Заодно проверю, действительно ли Зубастый человек не приходит к спящим. В конце концов, кто мне это сказал? Пятилетний мальчик. А кто сказал мальчику? Папа. А папе кто сказал? А папа это сам придумал. Придумщик! Нет чтобы придумать, что при виде полиции Зубастый человек кладет зубы на полку! Или сам себя съедает. Или превращается в плюшевого медвежонка. Или…"

Бип-бип-бип! – запищал желтый пластмассовый будильник на тумбочке у кровати.

– Мари! – завертел головой мальчик. – Мари, ты здесь?

– Ну а где же мне быть, – сказала Мари и с чувством хлопнула по кнопке будильника. – Зачем будильник поставил? Спал бы себе и спал.

– Но мы же договорились! – обиделся Альберт.

– Ладно, – сказала Мари, присаживаясь на постель. – Давай бояться вместе.

Но бояться вместе получилось не очень. Мальчик вертелся, делился впечатлениями, почерпнутыми днем в песочнице, и живо интересовался, как именно Мари прикончит Зубастого человека.

– Тресну его стулом по башке, – предлагала курсантка двадцатый по счету способ расправы с существом из шкафа, – он и рухнет замертво.

– А если не замертво? А если он снова поднимется? Как разинет пасть…

– А я суну ему в пасть гранату, он и взорвется.

– А если он ее выплюнет?

– Тогда я… Постой, Альберт.

Мари повернула голову к шкафу. Шкаф безмолвствовал. Зубастый человек не собирался приходить туда, где к нему относятся столь неуважительно. Так что она сидит совершенно без толку, а сидеть ей – Мари глянула на часы – еще целый час. Или битый час? Выходит, целый час – то же самое, что и битый? Как же их отличить один от другого?..

Мари потрясла головой и вернулась к нужным мыслям. Значит, так. Пока она здесь, мальчик не боится. Может, Зубастый человек приходит только к тем, кто его боится? Она уйдет, мальчик снова начнет бояться, тут-то Зубастый и явится? Тогда уходить нельзя. Тогда нужно… тогда вот что нужно.

– А знаешь, Альберт, ты прав, – страшным шепотом сказала она. – Выплюнет он гранату. Да и нет у меня гранаты. И стулом по башке с ним не справиться. С ним вообще никак не справиться. Он же сверхъестественный!

– И что же будет?

– Да известно что. Влезет в шкаф, дверью поскрипит, одеждой прошуршит, потом вылезет и пойдет к нам. Топ, топ, хлюп, хлюп, пол прогибается, болотная жижа с него капает – зеленая, вонючая. Топ, топ, хлюп, хлюп, Зубастый человек все ближе, Зубастый человек все больше, зубы щелкают, а на поясе – откушенные головы предыдущих мальчиков! Подойдет, схватит меня за ногу, подбросит к потолку и проглотит, как аист лягушку, целиком, я и пикнуть не успею. А потом склонится над тобой и скажет: "Ну-ка, кто тут у нас на десерт?" И что ты ему скажешь?

– Мне страшно, Мари, – сдавленно прошептал мальчик.

Дверь шкафа скрипнула. Потянуло холодом. Мальчик оцепенел, не успев закрыть глаза.

Фокус удался. Зубастый человек почуял детский страх и пришел. Осталось выполнить вторую часть задачи – победить его. Всего-то.

"Ты-то чего боишься? – спросила себя Мари. – Ты же взрослая девушка, большая… упитанная… Тебя-то он первой и проглотит…"

Дверца скрипнула раз. И заскрипела на одной противной ноте. Мари быстро, чтобы не увидеть подробностей, глянула на шкаф – распахнут настежь.

"Спокойно, девушка, без паники. Сейчас надо, как в прошлый раз, представить происходящее в юмористическом контексте…"

Топ.

Зубастый человек учился на собственном опыте. Еще раз предоставлять Мари время для поиска юмористического контекста он не собирался.

Топ. Застонали, прогибаясь, доски пола.

"Хоть болотной жижей не хлюпает, и на том спасибо…"

Топ. Еще два таких шага и…

"Все, поднимаюсь, расправляю плечи и поворачиваюсь к страху лицом, – решила Мари. – Хуже не будет".

Опять ошибка. Стало намного хуже. Но, по крайней мере, существо остановилось – возможно, для того, чтобы Мари получше его рассмотрела.

Зубастый человек изменился. Он вырос настолько, что почти упирался макушкой в потолок. Очертания Зубастого человека были расплывчатыми, а сам он – очень массивным, словно его надули из лохматого куска черной резины, а потом набили булыжниками. Зубы тоже изменились – место акульего частокола заняли ровные, почти человеческие зубы. Если бы существовали люди с двадцатисантиметровыми зубами.

Существо всхрапнуло, выпустив из пасти клуб морозного воздуха. Мари подняла взгляд на разверстые ноздри и выше… А… а… а вот и… в-третьих. Кожа на затылке девушки зашевелилась. У Зубастого человека появились глаза.

Большие, черные, живые… даже слишком живые. Как будто каждый глаз слепили из полусотни шевелящихся черных муравьев.

Мари чуть не стошнило. Она сделала усилие, удержала ужин внутри и немного пришла в себя. "Думай… думай… Зеркало!"

Если карманное зеркальце Мари и огорчило Зубастого человека, то ненадолго. Из приоткрытой пасти выскочил длинный язык, мокро шлепнул девушку по пальцам, подцепил зеркало и нырнул обратно в пасть.

"Все-таки взрывать надо было, – отрешенно подумала Мари. – Что там у тебя осталось? Юмористический контекст? Ну давай свой юмористический контекст. Помирать, так уж с веселым смехом. Что бы такого пошутить… как бы еще губы расклеить…"

– А-а-а… А-а-а… Сейчас. А-а-а… у т-т-т-те-бя… вся спина белая!

Существо моргнуло одним глазом, потом вторым, склонило огромную башку набок. Потом протянуло сморщенную, как сушеный банан, ручищу к Мари, будто собиралось похлопать ее по плечу, вдруг резко уменьшилось, подалось назад и со свистом втянулось в шкаф.

В комнате заметно потеплело.

"Неужели сработало?!" – не поверила своему счастью девушка.

Нет, не сработало.

Топ, – послышалось из коридора.

Топ.

Топ.

"Решило с другой стороны зайти, – поняла Мари. – Ах ты, тварь неугомонная! Ну погоди у меня…"

Она подхватила стул, сделала два неслышных шага и встала у входной двери.

Дверь медленно… очень медленно… невыносимо медленно…

при…

от…

кры…

лась…

и существо быстро просунулось в комнату.

– Отдай свое сердце! – рявкнула умница, красавица, отличница и специалист высокого класса, после чего наотмашь треснула существо стулом по голове.

– Ох, мать… – сказало существо, оседая на пол.

– Господин старший инспектор? – удивилась Мари.

– Нет… – простонал господин старший инспектор, хотя это был определенно он, – нет… Только не это… Почему ты? Почему меня?

– Так это вы… – Она чуть было не ляпнула: "Так это вы сидели в шкафу?", но вовремя поймала себя за язык зубами.

– Мари, ура! – шепотом закричал мальчик. – Ура, Мари! Ты победила сразу двух монстров!

– Нет, Альберт, – сказала Мари. – Второй монстр – это полицейский.

– Это у нас, полицейских, такое фирменное приветствие, – сказал Георг. – Табуреткой по голове.

– Во-первых, это был стул, – сердито сказала Мари. – А во-вторых…

В глубине дома хлопнула дверь.

– Папа идет, – обрадовался мальчик. – Прячьтесь!

– В шкаф, – скомандовал Георг. – Быстро!

Они еле успели втиснуться между вешалками и прикрыть дверцу, как в комнату вошел отец Альберта.

– Ну? – сонным голосом произнес он. – Что за шум? Опять у тебя в шкафу Зубастый человек?

– Нет! – воскликнул Альберт. – Зубастый человек приходил, но потом пришла полиция и его прогнала!

– Полиция? Полиция – это хорошо. А почему я ее не вижу?

– Они прячутся у нас в шкафу!

– У нас в шкафу прячется полиция? – переспросил отец после паузы.

– Да! Они меня охраняют от Зубастого человека! Теперь я его не боюсь!

Еще одна пауза, куда длиннее первой. "Сейчас он заглянет в шкаф, – подумала Мари. – А стул снаружи остался".

– У нас в шкафу полиция, которая охраняет тебя от Зубастого человека, – монотонно повторил отец. – Поэтому ты его больше не боишься. Что ж, такое положение дел меня вполне устраивает. Спокойной ночи, Альберт. Не шуми больше…

Из коридора донесся длинный удаляющийся зевок.

– А во-вторых, – яростно зашипела Мари, выскакивая из шкафа, – как вы посмели подвергать опасности жизнь ребенка?! Это же было настоящее чудовище! Если бы не я, оно бы его съело!

– Да какое чудовище… – промычал Георг, выплевывая рукав рубашки. – Кого бы оно съело? Что за девичьи фантазии… Что ты тут вообще делала? – инструктор тоже перешел на шипение. – Как ты здесь оказалась? Ты должна была прийти в назначенное место и пройти инструктаж! И только потом вместе со мной идти сюда и спокойно твое чудище ловить…

– Так вы знали, что оно снова придет?! И собирались его ловить?

– Конечно знал, конечно собирался, – Георг полез за пазуху и извлек в качестве доказательства замызганный мешок.

– Вы хотели поймать его этим мешком?! Да оно в десять раз больше!

– Что?! В десять раз? Нет, это уже ни в какие ворота не лезет…

– В этот мешок оно бы точно не влезло!

– У страха глаза велики!

– Еще как велики! У него глаз, как у вас… мозг!

– А вы завтра снова придете? – присоединился к общему шепоту мальчик.

– Нет! – сипло рявкнул Георг.

– А я еще хочу! Вдруг Зубастый человек вернется?

– Не вернется! Мари теперь каждую ночь будет дежурить в шкафу!

"Вот это да! – подумала курсантка. – Вот тебе, девочка, и производственная практика!"

– Вот это да! Я теперь никогда по ночам спать не буду! Буду смотреть, как Мари дежурит.

Георг помолчал.

– Нет, ты уж лучше спи. Мари будет… невидимой. И неслышимой. И… – он повысил шепот, – молчащей!

– У меня в шкафу будет невидимая засада! Здорово!

Инструктор повернулся к Мари:

– Что у тебя по "скрытному незаконному проникновению в частный дом"?

Девушка опешила.

– Ничего. У нас такого предмета нет. Есть "скрытное проникновение в предполагаемое логово предполагаемых террористов". По нему – пять.

– Тогда выясни, где в предполагаемом логове предполагаемый холодильник.

– Холодильник на кухне, – сообщил Альберт. – Но холодное пиво папа вечером допил.

Георг скрипнул зубами.

– Мне нужен лед. Если папа вечером его не доел.

Когда Мари вернулась с пакетом, наполненным ледяными кубиками, мальчик уже спал, обняв подушку. Полицейские двумя неслышными тенями… точнее, одной неслышной и одной постанывающей тенями выскользнули из дома.

– И что? – спросила Мари. – Я действительно буду каждую ночь…

– Не будешь, – сказал Георг. – Участок большой, его патрулировать нужно.

– Но ведь тогда невидимая засада не сработает! Или… сработает? Так, подождите. Пока мальчик не боялся Зубастого человека, тот не приходил. Теперь он не будет бояться, значит, никто не придет… Так что же это получается? Получается, что я спятила? Этот Зубастый человек, что, был массовой галлюцинацией? Он существовал только в воображении мальчика? А потом в моем воображении съел мое зеркало?

– Ага, – проворчал Георг. – В воображении. Представляешь, приходит завтра этот воображаемый чудик в шкаф, а там – в воображении мальчика – ты сидишь. Ты и так девчонка не промах, а уж в воображении…

Мари почувствовала, что краснеет, и поспешно приложила к лицу пакет.

– Кстати, – сказала она, – а лед вам зачем?

– Лед? Тьфу, черт, задумался. Это мне к глазу приложить. Я же говорю, девчонка не промах. "В воображении"… Все было на самом деле.

Мари обогнала шефа и преградила ему путь.

– Я ничего не понимаю…

– Вот-вот, – инструктор приложил пакет со льдом к голове, – ноль понятия. Девчонка, одним словом. В шкафу был настоящий, реальный, живой кошмар. Его следовало изловить, а ты его спугнула. Теперь ищи его…

– Что значит живой кошмар?

– Ну Оглазой или Посмотрень, – Георг перевернул пакет и двинулся дальше. – Хотя, скорее, Оглазой.

– Кто?

– Оглазой редкозубый обыкновенный…

– Редкозубый?!

– Ну да. Изгоняется простым человеческим разговором. Из шкафа никогда не вылезает и никакого вреда причинить не может, разве что напугать. Что, я вижу, ему отлично удалось.

– Но он вылез из шкафа!

– Этого не может быть. Тебе со страху померещилось.

– Если это был настоящий живой кошмар, значит, и все остальное мне не померещилось, – твердо сказала Мари. – Нельзя сойти с ума наполовину. Он вылез из шкафа. Он подошел к кровати. Он уперся головой в потолок. Он слопал мое зеркало…

– Прекрати нести чушь! Да если б там такое было, кто бы тебя вчера туда пустил? Да я бы первый туда тебя не пустил! Но я пустил. Потому что еще вчера все проверил: в шкафу был совершенно не опасный кошмар. То есть не совершенно не опасный, а условно опасный, то есть условно его можно считать безопасным… отчасти… то есть совершенно… Тьфу! Совсем мозги мне задурила! Короче, вчера ничего опасного для тебя там не было!

– А сегодня было! – воскликнула Мари, которая за время тирады шефа как раз успела подумать. – Это был другой кошмар. Безусловно опасный.

– Что значит "другой кошмар"?

– В эту ночь был не тот кошмар, что в ту! В смысле сегодня был не тот, что вчера. Не акулий человек! Наверное, вчера он сильно обиделся и ушел навсегда. А тот, что сегодня, был в три раза больше, и зубы у него были другие. Хотя и первый не был редкозубым, но из шкафа первый и правда не вылезал. И у первого глаз не было, а у второго были! Ой, какие там были глаза!

– Какие глаза?

– Какие, какие… Как у нашего завхоза! Только крупнее.

Георг остановился. По его лицу пробежала тень сомнения, которая тут же перешла в гримасу страдания.

– Давай все выяснения на завтра. Приходи в офис к десяти утра… что это такое я говорю? Крепко же ты меня приложила… Приходи к часу. А сейчас спать. И не грусти, я тебя научу, это проще пареной репы.

– Никогда в жизни не видела пареной репы, – буркнула Мари,.

Инструктор помрачнел.

– А я видел. И даже ел. И тебе не советую.

Когда Мари вернулась в свою комнату, Жанна сидела на кровати. Выглядела соседка бодро, свежо и совершенно нормально.

– Привет, Маришка! – обрадовалась она и подмигнула двумя глазами одновременно. – Ну, как прошла первая практика? Как твой инструктор?

– Более-менее, – ответила Мари. – Хрястнула его стулом по голове. Узнала много нового.

Она достала из тумбочки скотч и тщательно заклеила двери шкафа.

Глава 4

Пугающий холодильник и летающий портшез

Причина хаоса – бессистемные попытки навести порядок.

А. Азимов. "Ты, робот!"

Если не удается поймать преступника, соответствующего описанию, постарайтесь поймать преступника, максимально на него похожего.

Устное замечание к плану "Перехват"

– Разобраться, кто это был, – сказал Георг, глядя в дымящуюся кружку, – очень просто. Забираешься в архив-классификатор, перебираешь всех, кто подходит под описание, идентифицируешь…

– А где архив?

– В малой комнате, за аквариумом. Даю тебе два часа. Я пока чаю попью.

Мари вернулась через пять секунд.

– Извините, я не нашла…

– …аквариума? Ничего удивительного. Он уже давно высох. Я в него складываю зимнюю одежду.

– Извините, я комнаты не нашла.

– А что там искать? Встаешь в центр большой комнаты, лицом к правому сейфу, отсчитываешь 45 градусов влево, разворачиваешься на 180 градусов, идешь, у второй стопки книг поворачиваешь направо, снова идешь, не доходя до холодильника, останавливаешься… – Георг посмотрел на Мари и пришел к гениальному выводу: – Нет, показать будет быстрее.

С видом человека, которого по пустякам отрывают от важных дел, инструктор встал, покряхтел и направился в комнату. Там он ногой отодвинул пачку книг, плечом – шкаф с цветочными горшками, и ловко подцепил то, что казалось висевшим на стене куском старых обоев, а оказалось куском старых обоев, закрывавшим проход в темную комнатушку. Георг широким жестом указал Мари путь и вернулся на кухню с видом человека, которого перестали отрывать от важных дел, и уж теперь-то он наконец сделает то, что откладывал столько лет.

Девушка осторожно вошла в малую (и еще более захламленную) комнату. Там она попыталась нащупать на стене выключатель, два раза обо что-то укололась и решила подсветить себе фонариком. Кандидатов на роль аквариума оказалось два. Слева – низкий и широкий, справа – повыше и поуже. Оба стеклянных ящика были заполнены каким-то барахлом. Мари попыталась выяснить, какое из барахлов (барахол?) зимнее. Ей повезло. Перебрав в узком ящике несколько толстых от пыли рубашек, она наткнулась на лыжную палку.

Теперь осталось найти архив-классификатор.

Мари разгребла груду вещей за аквариумом и обнаружила на полу архив – объемистый альбом в синем бархатном переплете. Девушка села рядом и погрузилась в изучение отвратительных мутных физиономий. В среде кошмаров, судя по всему, было принято принимать человеческий облик, некоторые выглядели почти как настоящие люди. Выдавал их только злобный, безжалостный взор. Мари искала очень тщательно, но все равно не смогла выполнить приказ шефа. Во-первых, не нашла никого похожего, во-вторых, уложилась в десять минут. "В любом случае, – решила курсантка, – доложить об отсутствии результата нужно".

Георг пребывал на кухне в блаженном состоянии. Кружка его уже не дымилась, а пенилась. Увидев Мари, инструктор спешно вернул на лицо страдальческую гримасу.

– Лечебное пиво, – пояснил он, – снимает любые боли. В том числе послеоперационные, травматические и фантомные. А также позволяет быстро восполнить нехватку калорий. А ты что, решила подкрепиться перед большой работой?

– Никак нет. В смысле, этого кошмара там никак нет.

Георг посмотрел на часовую башню. Хотя механизмы и привирали, ни у одного из них не хватило наглости заявить, что прошло уже два часа.

– А вас там неплохо натаскали, – заметил он. – И что, совсем никого похожего?

– Один, кажется, похож, – Мари протянула раскрытый архив. – Он чем-то смахивает на нашего начальника Школы.

Полицейский внимательно изучил указанную фотографию.

– А ты наблюдательна, стажер. Это и есть ваш начальник Школы.

Георг выудил из-за батареи влажную тряпку и начал с усилием тереть обложку архива. Вскоре на ней проступили буквы:

"Высшая Школа Полиции. Выпуск 1981 года".

Мари задумчиво зарделась.

– А теперь скажи мне, девушка, – ласково произнес Георг, – почему ты полчаса любовалась моим выпускным альбомом, вместо того чтобы выполнять приказ?

– Значит, – ответила Мари, – это был не аквариум.

И направилась к выходу из кухни.

– Нет уж, – сказал Георг, – теперь я тебя сам отведу. За ручку. А то вас там даже ходить по офису не научили.

В малой комнате инструктор мгновенно нашел выключатель, который оказался вмонтированным в плинтус. Тусклая лампочка осветила левый ящик и недвусмысленно торчащую из него шапку-ушанку.

– Если это аквариум, – сказала Мари, – то за ним архива нет. За ним только стена и дверь. А вы сказали, архив в маленькой комнате, за аквариумом.

– Архив в маленькой комнате за аквариумом, – согласился Георг.

– Но за аквариумом нет никакого архива… подождите. Архив что, за дверью? То есть архив не за аквариумом в маленькой комнате, а архив в маленькой комнате за аквариумом?!

– Архив в маленькой комнате за аквариумом.

– Так бы сразу и сказали, – сказала Мари, чтобы хоть что-то сказать.

– Поздравляю, – сказал Георг и отхлебнул из кружки. – Тебе понадобилось всего сорок минут, чтобы осознать приказ начальства и уловить разницу между коридором и комнатой.

Он открыл дверь.

Маленькая комната выглядела раза в два просторней большой. Впрочем, когда Мари, прижав холодные ладони к пылающим щекам, достигла некоторого температурного равновесия, она поняла, что на самом деле комната меньше. Просто в ней совершенно нет хлама. Архив-классификатор представлял собой три плоских металлических шкафа со множеством ящиков. На каждом ящике белел картонный прямоугольник с надписью. В центре комнаты под мощной люминесцентной лампой стояли вращающееся кресло и маленький столик.

– Оказывается, в делах у вас порядок, – сказала девушка. – А по большой комнате и не подумаешь…

Она увидела выражение лица инструктора и замолкла.

– У меня. В делах. Порядок. И это не оказывается, а должно быть ясно от одного взгляда на меня… – Георг взмахнул кружкой и вылил на себя глоток лечебного пива. – Тьфу! А архив этот мой

напарник собрал. Тот, который Макс. Который с докторской степенью по математике. Которая ему не помогла…

– Что ты сидишь над тарелкой? Почему не ешь суп?

Девочка лет четырех с торчащими в разные стороны, хвостиками косичек задумчиво водит ложкой в разноцветной жиже.

– Ну что за фокусы, Элен? – мать девочки садится напротив. Полуденное солнце светит ей в спину, так что лица матери почти не видно.

Девочка выпячивает нижнюю губу.

– Хочешь, чтобы, он совсем остыл? Чтобы стал совсем невкусным?

– Он уже совсем невкусный, – говорит девочка и бросает ложку на стол. – Не хочу супу.

Мать хмурится на дочь, потом заглядывает в вазу с конфетами.

– Ну конечно! Ты опять ела конфеты перед обедом! Перебила аппетит. Разве я тебе не запретила есть сладкое перед едой?

– Конфеты вку-у-усные, – начинает ныть Элен. – А суп проти-и-ивный…

– Значит, так. Если ты сейчас же не доешь суп, придет дядя полицейский и заберет тебя в тюрьму. Слышишь? – мать несколько раз топает под столом ногой. – Он уже стучит в дверь. Я иду открывать.

– Мама! – глаза девочки расширяются. – Ты отдашь меня полицейскому?

– Как же я тебя не отдам полицейскому, если он действует по закону? По закону всех девочек, которые не едят суп, забирают в тюрьму. Я тебе ничем помочь не смогу.

Элен хватается за ложку.

– "Пугающий Холодильник", – читала Мари с архивной карточки. – "Неподвижный. Технологический. Глотатель. Парализует жертву урчанием…"

Она подняла глаза на Георга.

– Так я и думал, – с довольно мрачным видом (одновременно мрачным и довольным) произнес инструктор. – Никакого системного подхода. Ты знаешь, сколько здесь карточек?

– Много.

– А знаешь, чему равно это "много"? 20 167 штук. Или 19 785. Или около того. Если брать их наугад, как ты, и на каждую тратить пять минут… Сколько получится?

Мари полюбовалась изображением черного холодильника. И без умножения было ясно, что работы ей тут на несколько месяцев.

– Засовывай свой Холодильник на место, – приказал Георг, – и начинай думать головой.

Полицейский отхлебнул еще пару раз, после чего не выдержал:

– Не про меня думай, и не гадости всякие, а про то, как правильно искать информацию.

"Сейчас мне будет стыдно", – подумала Мари, жалобно вздохнула и посмотрела на инструктора своим фирменным взглядом недоумевающего олененка. От этого взгляда самый матерый волчище забыл бы о злодейских планах и вывез Мари из дремучего леса на серой спине.

– Вот несчастье на мою голову! – в сердцах воскликнул Георг. – Мы полицейские или мы в детском саду? Все же классифицировано, разнесено по видам, подписано! Ну смотри, этот ряд – условно вымершие кошмары, о них можно сразу забыть…

– Условно вымершие?

– Поясняю на примере. – Георг выдвинул один из ящиков, выхватил карточку и прочел: – "Летающий портшез. Подвижный. Устаревший. Раздробитель. Зажевывает полы камзола до полного удушения жертвы". Понятно, почему вымер?

– Не совсем. А что такое "портшез"?

– Вот потому и вымер. Как люди будут бояться каких-то портшезов, если они не знают, что это такое? Вот если портшезы вдруг снова получат распространение, тогда другое дело. История, знаешь ли, движется по спирали… Да-да, по спирали, нечего на меня смотреть так удивленно. И чему вас только в Школе учили…

– Древним расам, – начала перечислять Мари, – вампирам, инопланетянам, рукопашному бою…

– Понятно. То есть непонятно, как ты вообще прошла проверку. Твой кошмар был антропоморфным, предметообразным или не пойми что?

– Первый или второй?

– Первый – мелочь, он нас не интересует. Второй был антропоморфным?

– То есть был ли он похож на человека? Да нисколечко! У него был совершенно нечеловеческий взгляд!

– При чем тут взгляд? Сколько у него было тел?

– Одно.

– Голов?

– Одна.

– Рук? Ног?

– По две. Но это все равно был не человек! Это было… чудище!

– Эх, девочка, плохо ты знаешь людей. Значит, твой был антропоморфным. Средний шкаф. Дальше. Кошмар подвижный?

– Да. Рот открывал.

– Рот они все открывать мастаки. У кого он есть, конечно. Раз, как ты говоришь, твой ужас из шкафа вылез, значит, подвижный. Вот если бы он пасть открыл и ждал, пока ты туда сама заберешься…

– Еще чего!

– …тогда был бы неподвижным. Неподвижные – верхняя треть среднего шкафа. Что осталось? Остались ящики 135-264. Видишь, как все просто.

Мари оглядела ящики 135-264. "Глотатели", "Душители", "Жеватели", "Давители", "Откусыватели", "Затягиватели", "Затаскиватели", "Засасыватели", "Выскакиватели", "Выпрыгиватели", "Щипатели", "Щекотатели"… Ей стало зябко.

– И чего ты ждешь? – спросил Георг. – Давай ищи.

– А нельзя еще точнее… классифицировать?

– Нельзя. Если бы ты не поторопилась, то можно было. По способу уничтожения жертвы.

– То есть вы предпочли бы, чтобы я дождалась, пока он начнет меня жевать, а я бы его определила как жевателя?

– Ну-у-у… В идеале да.

– У нас разные представления об идеале, – девушка отвернулась к шкафу и выдвинула ящик с номером 178.

Георг пошевелил усами и заметил:

– Ты бы лучше с глотателей начала. Ящики 135-152. Вряд ли у душителя были бы зубы.

Мари не отвечала.

– Хотя, – произнес полицейский, – в принципе, бывали случаи.

Ответом ему было упрямое сопение. Георг пожал плечами и отправился на кухню. Там он плеснул себе еще немного лечебного пива и неспешно стал им лечиться…

– Ну вот, молодец. Видишь, ничего сложного в том, чтобы съесть суп, нет. И стоило из-за этого так мать изводить, а, Элен? Вот тебе целых три конфеты, заслужила.

Девочка хватает конфеты, бежит к дивану, садится рядом с большим розовым слоном, включает телевизор. На экране тут же начинают скакать и верещать рисованные зверюшки.

– Элен, я ухожу. Ненадолго. Вернусь в шесть. Помнишь, сколько это? Когда большая стрелка будет показывать строго вверх, а маленькая – вниз.

Девочка кивает.

– Что ты не должна делать одна дома, повтори.

– В окно не высовываться, дверь никому не открывать.

– И?.. И не брать конфет из вазы. Ты меня поняла?

Девочка смотрит на маму, ее перепачканные шоколадом губы начинают дрожать.

– Конфеты вку-у-усные…

– Значит, так, – говорит мама.

Она берет вазу, ставит ее на верхнюю полку серванта, открывает ящик комода, достает ножницы, показывает дочке.

– Это заколдованные ножницы. Смотри, я их кладу рядом с вазой. Как только какая-нибудь непослушная девочка полезет за конфетами, ножницы – чик! – и отрежут ей пальчики.

Элен недоверчиво смотрит на маму, потом на полку.

Мама уходит, гремя дверным замком. Элен отворачивается к телевизору. У нее есть еще две конфеты.

…Георгу снился нестрашный кошмар. Ужасные твари летали, ползали и прыгали, пытаясь его напугать, а он совсем их не боялся. Наоборот, смелый полицейский ловил ужасы большой пивной кружкой и вытряхивал в архив-классификатор. Вот к нему приблизилась целая группа кошмаров, которые поддерживали увесистые нижние челюсти маленькими лапками.

– Жеватели, – представились они.

– Душители, – отрекомендовалась вторая группа, размахивая змеевидными конечностями.

– Глотатели! – прогорланили ужасы из третьей группы.

Кошмары уставились на Георга, ответного приветствия не дождались и принялись скандировать:

– Жеватели! Душители! Глотатели!

Кто-то положил щупальце на плечо Георгу.

Полицейский оглянулся. Антропоморфный ужас в облике симпатичной девушки склонил к нему лицо и спросил:

– А что, эти глотатели и душители на самом деле глотают и душат?

Инструктор открыл глаза. Помотал головой. Антропоморфный ужас принял облик курсанта Мари.

– Глотатели и душители, – терпеливо повторила она, – на самом деле глотают и душат?

– Нет, конечно.

– А почему тогда они так называются?

– Это просто их способ пугать.

Мари удивилась.

– Хороший способ. Если бы меня начали заглатывать, я бы обязательно слегка испугалась.

– Да нет. Это вид угрозы, при помощи которой они воздействуют на людей. Как правило, они лишь изображают, что собираются задушить или зажевать, чтобы испугать человека. Они ведь не людьми питаются, а их страхом.

– Вы сказали "как правило", – заметила Мари.

– Это ты верно заметила, – почему-то довольно произнес Георг. – Бывают и телесные повреждения, и летальные исходы. Редко, но бывают.

– Вот как? – девушка поникла, вся ее бодрость куда-то улетучилась. – То есть на этих карточках не преувеличивают?

– Да, – повторил полицейский. – Ужасы иногда убивают людей.

Он выжидательно посмотрел на Мари.

Мари молчала.

– Ну? – наконец не выдержал инструктор. – Разве ты не хочешь сказать: "А почему же эти ужасы не истребят?"

– Люди тоже иногда убивают людей, – ответила Мари, думая о чем-то другом. – Что ж теперь, всех людей перебить?

– Это должна была быть моя фраза! – возмутился Георг. – Да что ты за стажерка такая! Все новички, как узнают о летальных исходах, тут же требуют поголовного изничтожения кошмаров, одна ты… Кстати, – инструктор воззрился на часовую башню. – Два часа прошло… Или не прошло? Короче, ты задание выполнила?

Мари кивнула и положила на стол красную, как тревожный сигнал светофора, карточку.

Мультфильмы кончились. Конфеты тоже. Элен выключает телевизор, задирает голову к часам. Большая стрелка показывает влево, а маленькая немного не доползла до самого низа. Элен ставит к серванту стул, забирается на него. Поднимается на цыпочки, внимательно смотрит на ножницы. Ножницы неподвижны. Элен вздыхает, протягивает руку к вазе, держа ее подальше от ножниц.

Щелк!

Девочка отшатывается и чуть не падает со стула. Невидимая рука поднимает ножницы – щелк! щелк! – еще пару раз режет воздух и начинает проявляться. Рука похожа на куриную лапу.

Элен кричит, поворачивается, спрыгивает со стула, бежит через комнату, забирается с ногами на диван, крепко обнимает плюшевого слона, замолкает и только после поднимает глаза на полку.

Рядом с конфетной вазой на одной ноге стоит петух. Другой ногой он держит ножницы. Клюв у него с мелкими зубами. И этих клювов несколько. Три.

Петух, слегка покачиваясь, неотрывно смотрит на Элен. Элен смотрит на петуха, все крепче сжимая розового слона. Через какое-то время Элен осмеливается глянуть на часы. Большая стрелка вверху, маленькая внизу. Девочка переводит глаза на полку, и тут петух начинает говорить.

– Девочка, – произносит правый клюв.

– Хочешь конфетку? – подхватывает центральный клюв.

– Конфетки вкусные, – клацает левый клюв.

– Почти как пальчики, – говорят они хором и разражаются кудахтающим смехом.

Гремит дверной замок. Петух припечатывает ножницы ногой к полке, пригибает шею, коротко шипит на Элен и тает в воздухе.

Георг оторвал взгляд от красной карточки и медленно поднял голову.

– Где ты ее взяла?

– Ну я рылась, рылась в этих кошмарах, а потом смотрю – левый нижний ящик без таблички. И заперт. Я сразу туда заглянула…

– Он был заперт, – механически напомнил инструктор.

– Но мы же полицейские, шеф, – напомнила стажерка. – Ну вот, я туда заглянула, а там всего одна карточка. А на ней он… Я сначала испугалась, а потом прочитала карточку и… совсем перетрусила. Дело плохо, да, Георг?

Инструктор потер лоб. Того, что подчиненная назвала его по имени, он даже не заметил.

– Вот какой крендель, значит, у нас объявился… – пробормотал он, глядя на карточку. – Вот уж кого не думал снова повстречать…

Объект **№ 1024**

ОМОРДЕНЬ.

Вид: **не определен.**

Подвижный. Очень подвижный. Варьирует методы воздействия на жертву, отдает предпочтение методам глотателей. Часто приходит к жертвам, предварительно напуганным другими кошмарами.

Ареал преимущественного обитания (место лежки): **неизвестен.**

Способ нейтрализации: **неизвестен.**

Количество поимок: **0.**

Число зафиксированных летальных исходов, произведенных объектом: **5 (зачеркнуто) 6.**

Объект **№ 1281**

ВРАЖЕРЛА.

Вид: **глотатель.**

Средней подвижности, пуглива. Отсутствие зубов умело компенсирует зловещим помахиванием длинного языка.

Ареал преимущественною обитания (место лежки): **подкроватное пространство.**

Способ нейтрализации: **матрацы напольного базирования.**

Количество поимок: **52.**

Две вражерлы в одной комнате способны запугать друг друга до столбняка.

Глава 5

Не плюй в источник информации

Пришел, увидел, побежал, рассказал.

Брут-младший. "Избранные докладные записки"

Шила в мешке не утаишь. Если это не мешок с отвертками.

"Справочник столяра"

– Вот как, значит, все повернулось… – сказал Георг и повернул красную карточку на 90 градусов. – Вот каким боком все вышло… – повернул карточку вверх ногами. – Вот такой кордебалет… – повернул еще. – Вот те на… Нате вот… Вот на те… Те на вот…

В целом Мари разделяла мнение шефа, но предпочла бы более конкретное изложение проблемы.

– Да, не того я стулом приложила, – сказала она. – Надо же, этот гад шестерых детишек слопал.

– Если бы детишек… – проговорил инструктор и вернул карточку в первоначальное положение.

Похоже, шеф начал заговариваться. Мари припомнила вызубренные методы приведения подследственных в чувство. Точечные пощечины или обливание холодной водой из графина показались ей не вполне применимыми в данном случае. Равно как и громкое чтение подходящих статей Уголовного кодекса.

– А-а-а-а-а! – сказал Георг. – Что ты делаешь?

– Привожу вас в чувство, шеф! – отрапортовала Мари, энергично натирая уши шефа ладонями.

– В чувство чего? Удивления? А-а-а! А ну-ка прекрати! Прекрати немедленно! Я-а-а… Я твой начальник! Это мои уши!

Девушка оставила начальственные уши, обошла стол и критически осмотрела результат применения приобретенных навыков. Результат – красный и злой инструктор – ее удовлетворил.

– Так-то лучше, – сказала она. – А то вы уже черт знает что несли.

Георг потрогал уши, убедился, что они все еще у него на голове, и сердито зыркнул на обнаглевшую подчиненную:

– Ну и что такое я нес?

– Вы жалели, что монстр съел не детишек.

– Я?!

– Ну да. Я говорю, этот гад шестерых детишек слопал, а вы – "Если бы детишек"!

– Я так сказал?! – поразился полицейский. – Ох, извини. Тогда ты, конечно, была права с ушами. Хотя могла обойтись и водой из графина. Я хотел сказать: "Да каких там детишек!". Шесть взрослых здоровых мужиков он слопал.

Георг потер щетину. Мари представила, как Омордень забирается в спальню к взрослому здоровому мужику и начинает его глотать.

– А куда же эти мужики смотрели?

– Они не смотрели, – сказал Георг. – Они исполняли свой долг.

– Долг? В спальне?

– А чего ты удивляешься? Как будто долг нельзя исполнить в спальне… Слушай, бросай ты краснеть с такой скоростью, у меня уже в глазах рябит!

– А вы расскажите толком! – Мари села напротив инструктора. – Кого он съел, как это случилось, при каких обстоятельствах…

Курсантка хотела еще добавить: "Где вы находились в момент преступления и кто может подтвердить ваше алиби", но сдержалась. Георг серьезно кивнул.

– Давно это было, – сказал он и надолго замолчал. Видимо, это и был весь рассказ. Либо все было так давно, что подробности инструктор позабыл.

Когда Мари уже решила спросить о чем-нибудь другом, Георг продолжил:

– Сначала-то мы подумать не могли, что такое возможно. Долго не верили. Сомневались. А потом, когда поняли, с кем имеем дело, Омордень куда-то пропал. И не появлялся десять лет. Я бдительность и потерял… И вот на тебе… На тебе и вот… И тебе вот на…

– А между "сначала" и "потом" что было? – быстро вмешалась Мари.

– Что было? Было шесть полицейских. Шесть выпускников подразделения 11. И каждый пытался задержать Омордня.

Георг приложился к кружке с лекарством.

– Строго говоря, первые пятеро пытались задержать совсем другие кошмары: кто Грызущую Моль, кто Галстук-Душитель. А натыкались на Омордня. Знал, что мы идем именно на Омордня, только шестой, капитан Макс, самый умный. Я-то тогда шрамом на руке отделался, а вот он… А все потому, что слишком умный! Говорил я ему – давай группу поддержки вызовем, так нет!

Мари нахмурилась.

– А группа поддержки помогла бы? Ведь способ нейтрализации неизвестен.

– Не помогли бы, так хоть отомстили бы.

Они помолчали.

– Да, – сказал Георг, – и теперь нужно будет спецназ вызывать.

– Чтобы отомстили?

– В смысле? Тьфу! Типун тебе на язык! Ну вот, в кружку попал. Не отомстили, а захватили. Но сначала его вычислить надо. Что ж, пойдем по осведомителям.

Георг поднялся, но направился не к выходу, а к ближайшему чулану.

"Он держит осведомителей в чулане, – подумала Мари. – Не очень гуманно, зато удобно, всегда под рукой. С другой стороны, о чем могут рассказать осведомители, постоянно сидящие в чулане?"

Никаких осведомителей из чулана инструктор выпускать не стал. Он остановился у двери и коротко постучал: три раза по два раза. Прислушался. Хмыкнул и перешел к следующей двери. Там все повторилось, только на сей раз он стучал два раза по три раза и один раз пять раз. После третьей двери (семь раз по разу), Мари шепотом сказала:

– Вообще-то духов не так вызывают. Нам на семинаре по столоверчению показывали…

– Чего? – в полный голос изумился Георг. – Чего верчению?

– Столоверчению. Вызов духов.

– Это теперь такому в ВШП учат?

Мари очень постаралась не покраснеть за свою школу.

– Ну я ведь уже говорила. Нас как зачислили в подразделение 11, так ничему больше и не учили, кроме инопланетян, древних рас…

– А, это, – махнул рукой инструктор. – Забудь. Вас не учили, а проверяли на способность воспринимать информацию, выходящую за рамки разумного.

Георг перешел к четвертому чулану и принялся выстукивать что-то особенно сложное.

– Так что, все, чему нас учили, выдумки? Ничего этого не существует?

Старший инспектор пожал плечами.

– Вы не знаете? – удивилась Мари.

– Не знаю и знать не хочу. Много будешь знать…

– Скоро состаришься?

– Ага, состаришься… До старости не доживешь! Да где ж они все?! – Георг, не церемонясь, зарядил в дверь пятого чулана ногой. И лупил безо всяких серий – непрерывно, сильно и громко.

Настучавшись, инструктор вернулся к столу и утомленно сел.

– Депортирую всех в сельскую местность, – сообщил он Мари.

– Кого?

– Да осведомителей этих. Как продлить регистрацию, так сами прибегают, а как от них что надо…

– Так вы же сами вчера туда гранату бросили. Вы сказали, что теперь недели две…

– Я в других гранату бросал. В смысле – не в этих. В этих чем ни бросай, не выведешь. А вот и они.

В пятом чулане зашуршало, заскреблось, потом шуршание переместилось от чулана к сейфу, замаскированному под тумбочку. Резко запахло котами.

– Чего так барабанить-то? – высоким голосом произнес от сейфа кто-то невидимый. – Чего барабанить? Никакого понятия об культурном обхождении.

Мари тронула инструктора за плечо.

– Кто это говорит? – прошептала она. – Я никого не вижу.

– Кривонос, барабашка со 2-й Параллельной улицы, – ответил Георг. – А не видишь ты его… так их никто не видит. Кроме тех, кто смотреть умеет.

– А как надо смотреть?

– А как ты Омордня увидела?

– Когда бояться начала. Здесь тоже надо бояться?

От сейфа самодовольно хрюкнули. Георг усмехнулся.

– Тут как раз бояться нечего. Вполне хватит, если ты поверишь в этого обормота. Даже не так. Достаточно будет поверить мне. Смотри, вон там сидит барабашка.

Мари была девушка доверчивая. Поэтому, взглянув туда, куда указывал наставник, и старательно поморгав, она и впрямь увидела на сейфе маленькое лохматое существо с кривым носом и испачканной в молоке бороденкой.

– Ишь ты, красавка, усмотрела-таки, – сказало существо и повернулось к полицейскому. – Так чего звал, гражданин начальник, по делу али как обычно?

– А ты опять молоко воровал, – сказал Георг.

– Не воровал, а ел, – обиделся барабашка. – Из кошачьей миски ел. Все равно их кошка молока не ест. А ежели я его есть не буду, они его наливать не станут. А это непорядок будет, я вам так скажу. Что это за дом, где не наливают? Кто им будет по углам шнырять, ежели они наливать перестанут? Кто им будет кошку пугать? Кто им будет в антресолях банки двигать? Я, что ли?

– Ты, что ли, очень-то не выступай, – сказал полицейский. – Нужна информация…

– Ишь ты чего! – возмутился барабашка. – Информация! Я тебе что, стукач?

– А кто?

– Ну да, стукач, ладно. Но зачем же вот так сразу, с порога – эй, стукач, заложи-ка нам пару дружков! Сдай нам друзей своих закадычных, сотоварищей родимых, сородичей одноплеменных, с которыми под одним веником сидел, с которыми в стужу лютую за одной печкой парился, с которыми за одну шапку краденую мутузился…

Пламенную, хотя и слегка шепелявую речь перебило шуршание во втором чулане. Подготовленная Мари уже без труда увидела барабашку с заломленным набекрень ухом. Новенький не стал тратить время на декламации о высоких нравственных качествах, а сразу приступил к своим прямым обязанностям.

– А Кривонос молоко ворует! – завопил он, тыча коротким пальчиком в первого барабашку. – У кошки своей! Вот, гражданин начальник, выкладываю всю правду как на духу!

– А Ухокрут днем в форточку высовывается, – радостно парировал Кривонос, совершенно не обидевшись на предательство со стороны родимого сотоварища. – И у пылесоса хозяйского кнопку открутил и спрятал!

Третий и четвертый барабашки – один одноглазый, другой с толстыми, как у хомяка, щеками, – выпрыгнули из чуланов одновременно. Кошачий запах усилился. Четверо обитателей углов и антресолей разом оглянулись на первую дверь, из которой никто не появился, и наперебой заорали:

– А Крутолоб-то не пришел, гражданин начальник! Не пришел ведь, охламон! А мы, как увидели, что он не пришел, мухой к гражданину начальнику – и все рассказали, всю правду-матку порезали! Вот мы какие!

– Ай, молодца! Ну а теперь, сородичи родимые… – Георг демонстративно положил на стол пустой мешок. Барабашки разом присмирели. – Если не возражаете, приступим к делу. Нужна информация. Зубастый. Залетный. Беспредельщик.

– Вона как, – уважительно произнес Кривонос. – Ну так это совсем другой коленкор. Ты бы, гражданин начальник, так бы сразу и сказал – нужна информация. Мы бы по пустякам тебя бы не отвлекали, что ж мы, не понимаем. Мы ж все понимаем. А Полуглаз и Вислощек опоздали! – не удержавшись, добавил он.

Георг поднял руку с мешком, останавливая готовый хлынуть поток встречных доносов.

– Так. С этой минуты сведения о своих не считаются информацией.

Лохматые осведомители разочарованно выдохнули и задумались. То ли пытались понять, кто тут кому свой, то ли силились сообразить, как это сведения о своих не могут быть информацией.

– Ну, что молчите? Полуглаз?

– Мокрохлюп недавно вернулся, – нерешительно произнес Полуглаз. – Этот подойдет?

– Какой Мокрохлюп? Который Чвак Колодезный?

– Не-а. Который Каранбуль.

– Вряд ли, – сказал Георг. – У него и зубов-то нету. Кривонос?

– Отломень третьего дня проездом был! – провозгласил барабашка.

– И что? – не понял Георг. – Где Отломень, а где зубы?

– Так он же Отломень! Он чего хочешь отломить может!

– Понятно. Вислощек?

– Пропадень куда-то подевался, – с готовностью сообщил Вислощек. – Пропал и нет его.

– Пропадень пропал? Так на то он и Пропадень!

– Вот я и говорю. Пропал Пропадень.

– Повторяю вопрос, – Георг начал терять терпение. – Беспредельщик…

– Я, я все знаю про беспредел! – подпрыгнул Ухокрут. – Мой кот вазу разбил, а на меня подумали!

– А кто его за хвост дергал? – ехидно спросил Кривонос.

– А чего он вазу разбил?

– Так ты ж его за хвост дернул!

– Но вазу-то не я бил!

– А Полуглаз, – включился в беседу Вислощек, – на кухне половицами скрипит!

– Моя кухня! – закричал Полуглаз. – Чем хочу, тем скриплю!

– Так на кухне-то сплошной линолеум! Ни одной половицы!

– Курсант Мари! – инструктор бросил девушке мешок. – Задержать подозреваемых!

– Все расскажем! Про всех расскажем! – испуганно заверещали осведомители, но стажерка уже приступила к выполнению задания.

Задержать барабашек оказалось не так просто. Лохматые болтуны ловко уворачивались от Мари, умело используя топографическую неоднозначность офиса. При этом они резко активизировали доносительскую деятельность, перейдя от волнения на какой-то тарабарский язык:

– А любопыри нефарлаво сникнулись! Отребник отхлебника в кошатор закулдычил! Сверносил теликнул воспору, а сам потом вселся! Сюдатники с грозырьми людейство сностропалили! Мамара вражерлу заклопасила, а вражерла давай коровкать…

Временами барабашки разом, как по команде, исчезали за вещевыми возвышенностями, а потом дружно выскакивали, снова затевая галдящую круговерть. Если бы не Георг, перекрывший пути отступления к чуланам, миссия наверняка завершилась бы полным провалом. А так, проделав десяток кругов по комнате, Мари все-таки смогла загнать Вислощека в угол. Увидев перед собой раскрытый мешок, барабашка сразу сник, опустил лапки и больше никакого сопротивления не оказал.

Позади вновь затопотали и зашмыгали, с грохотом рассыпалась стопка книг, но девушка не сдвинулась с места. Она решила сменить тактику бессмысленной беготни на тактику разумного выжидания – и не прогадала. Топот замедлился и вскоре прекратился вовсе. Мари уловила краем глаза движение сбоку и слегка повернула голову. Из-под ближайшего стула на нее смотрела хитрая мордашка Ухокрута.

– А Вислощек в мешок попался, – радостно наябедничал он.

Курсантка цапнула Ухокрута за свободное ухо и водворила к сотоварищу.

– А где у нас Кривонос затаился? – громко спросила она. – Кто-нибудь знает?

– Я знаю! – подскочил Полуглаз, прятавшийся под шкафом. – Он за холодильником схоронился! Ой-ой!

Мари подняла потяжелевший мешок и неслышно шагнула к холодильнику. За ним возились и постукивали. Позицию барабашка выбрал идеальную – с какой бы стороны курсантка не зашла, он мог сбежать в противоположную. Но Мари уже овладела секретным оружием охотников на барабашек.

– Интересно, – протянула девушка, – а что Георг хранит за холодильником?

– Два носка разного цвета, чистых, штопаных, – тут же отозвался Кривонос. – Пистолет табельный ржавый. Бутерброд с сыром засохший, надкусанный… Эй! Эй!

Очутившись в мешке, Кривонос повел себя так же, как и предыдущие задержанные, – замолк и перестал шевелиться, словно его выключили.

Мари поставила мешок с добычей на стол.

– Ловко ты их, – сказал Георг. – Я больше одного за раз никогда не ловил.

Мари качнула бровями.

Старший инспектор раскрыл мешок. Три с половиной пары глаз уставились на него.

– Кстати, – сказал Георг, – а где Твердолоб? Почему не пришел?

Семь глаз синхронно моргнули, но ничего не ответили.

– Что такое? – нахмурился полицейский.

– Дык а что Твердолоб? Твердолоб он Твердолоб и есть. Твердолоб-то? Да он эта… Он че? Он ниче… Лоб у него твердый, да… Твердолоб он, вот ведь петрушка какая…

– С этой минуты сведения о своих снова считаются информацией, – вдруг сказала Мари.

Инструктор недоуменно глянул на курсантку, но барабашки уже включились:

– Загрустил Твердолоб, затосковал, закручинился! Кто-то в его доме завелся, прямо в соседнем подъезде. Кто-то не из здешних мест, а откуда – непонятно. Залетный это, вот что я вам скажу! И что творит, что творит – жуть! А зубы-то какие, ей-ей, не приведи леший с такими зубами повстречаться…

– Зубастый, значит? – сказал Георг.

– Ох, зубастый!

– Залетный, говорите?

– Точно залетный! И беспредельщик!

– Что ж вы, половики говорящие, сразу не сказали?!

– А не могли мы, гражданин начальник. Не было никакой такой у нас возможности. Не велели нам. Грозились, ежели скажем, то все.

– Что "все"?! Кто грозился?

– Да вы же сами и грозились, – сказала Мари. – Вы им запретили о своих говорить, вот они про Твердолоба и не могли сказать.

– Она тебя заложила, – сказал Ухокрут.

– Да что ж я совсем… – расстроился инструктор. – Ну нельзя же так… Эй, вы, четверо, марш к Твердолобу, за руки, за ноги его – и сюда!

Георг вытряхнул осведомителей из мешка, и они гурьбой полезли в первый чулан. Уходивший последним Кривонос оглянулся.

– Этот полицейский нас мешком стращал, – доверительно сообщил он Мари и исчез за дверью.

Курсантка оглянулась на инструктора. Тот уже наполовину скрылся за холодильником.

"Носки? – удивилась Мари. – Бутерброд? Ах да…"

– Вот он! – воскликнул Георг, выбираясь наружу с ржавым пистолетом в руке. – А я уж его искал, искал… Почему он там оказался?

– Не знаю, – сказала Мари. – А почему они так мешка боятся? Это какой-нибудь особенный мешок?

– Да нет, обычный мешок, – ответил инструктор, с любовью гладя обретенное оружие. – Из-под сахара. Это неважно, они все мешков боятся – и барабашки, и сюдатники, и глотатели…

– Значит, чтобы поймать кошмар, достаточно мешка?

– Что? Нет, конечно. Нужна еще твердая уверенность в том, что кошмар можно поймать мешком.

– Но у меня такой уверенности не было, – подумав, сказала Мари.

– А причем тут ты? У кошмара должна быть уверенность, что его можно поймать мешком.

– Ага… А кошмары в этом заранее уверены?

– Только те, кого уже ловили. Остальных тебе сначала придется в этом убедить.

– А как?

– Ну, для начала ты должна быть уверена, что сможешь поймать кошмар мешком.

Мари показалось, что она продолжает говорить с барабашками.

– Что-то я не пойму…

– В этом и состоит сложность нашей работы, – сказал Георг и передернул затвор. Из пистолета выпал патрон.

В первом чулане застучало, загремело, закряхтело, шваркнуло по стенам.

– Несем, несем, гражданин начальник! Все как ты приказал, за руки, за ноги!

С этим хоровым докладом Кривонос, Ухокрут и Полуглаз внесли в комнату Вислощека.

– Это же Вислощек, – сказал Георг.

– Он, он! – радостно подтвердили барабашки. – Он, ирод!

– А Твердолоб?

– Шустрый шибко этот Твердолоб, не ухватишь. Мы только его за руки, за ноги, а он руки в ноги и усвистал.

– А Вислощека вы зачем притащили?!

– Так что ж нам, с пустыми руками возвращаться? – удивился Кривонос.

– А ну как ты опять осерчаешь? – рассудительно добавил Ухокрут.

– Того не поймали, так хоть этого сдадим, – сказал Полуглаз.

– Может, какая поблажка и выйдет, – завершил коллективную объяснительную Вислощек.

"Вот, значит, как оно происходит, превышение служебных полномочий", – поняла Мари, глядя на инструктора. Лицо Георга приобрело цвет, достойный картины талантливого импрессиониста, а кулаки его сжались с таким хрустом, что девушка испугалась, что они поломаются. Судя по всему, четверка изобретательных осведомителей была жива только потому, что полицейский пока не выбрал способ их умерщвления – расстрелять из ржавого пистолета, утопить в кастрюле или повесить на оконных рамах.

Мари уже прикидывала, как бы ей провести подсечку с ударом в солнечное сплетение и заламыванием рук так, чтобы не уронить достоинства старшего по званию перед гражданскими лицами. Но тут дверь первого чулана чинно открылась и вошел барабашка с высоким гладким лбом.

– Приходят, не подготовившись, – сказал он, кивнув на конкурентов. – Нет чтобы все сначала повызнать.

– Вот он, Твердолоб, вот он, саботажник… – завели было Кривонос с компанией, но Георг грозно на них шикнул.

Твердолоб тщательно протер лапками залысинки и вытащил из складок шерсти обрывок газеты.

– Значит, так. За утекший период забубенено непотребств – пять штук. Оглоушено непорядков – восемнадцать. Беда полная – в восьми местах. И по мелочи – много с хвостиком.

Георг, не обращая внимания на недовольный гул остальных барабашек, приказал:

– Мелочей не нужно. Где там у тебя беда полная?

– Цитирую. Беда полная в хозяйстве Вислощека…

– В моем хозяйстве?! – барабашка-хомяк всплеснул лапами, выпал из объятий товарищей и стукнулся об пол.

– А как же! – Твердолоб повертел в руках обрывок. – У меня все тут записано.

– Там-то, может, и написано, – хихикнул Полуглаз, – да ты ж читать не умеешь!

– Тихо! – рявкнул Георг (даже Мари вздрогнула). Инструктор наклонился к Твердолобу. – Не надо про Вислощека. Ты про свою беду расскажи.

Барабашка сразу погрустнел, потух, даже газетку уронил. Сородичи его тоже притихли, и тоже как будто посерьезнели.

– Поселился тут один… – пробормотал Твердолоб. – Не из нашенских… На моем этаже, через две стены… Ходит гоголем, смотрит упырем… Зубами сверкает… Только приехал, а уже давно безобразничает! И зубов у него полон рот…

– Ну а безобразничает как?

Твердолоб яростно почесал за ухом, потом исподлобья глянул на полицейского.

– Ты, гражданин начальник, его поймаешь?

– Я всех поймаю, – успокоил его Георг.

– Ну смотри, а то несдобровать мне… – барабашка вздохнул и вдруг заголосил: – В квартире той дитенок! Маленький совсем, с меня ростом! Так этот упырь к нему днем вылез!

– Днем? – выпрямился Георг.

– Днем! И стращал его чем-то! Чем – не знаю, но дитенок тот так пугался, что я за две стены трясся!

– Когда это было?

– После обеда аккурат!

– Так, – сказал полицейский. – Твой адрес я знаю, квартира через две стены… Понятно. Ну вот так бы сразу! Молодец. Хвалю.

Лица всех пятерых барабашек расплылись в улыбках.

– Это еще что! – закричали они. – А во втором доме, который третий, там вообще вампурында завелась. Или догона. Короче, за ноги там хватают. А консьержка в особняке у леса почту ворует. И еще грибами приторговывает. Которые ей лесник браконьерским образом собирает. А полиция знает, но молчит. Потому что куплена вся. Даже участковый Георг взятки берет.

– Та-а-ак… – сказал Георг.

– Брусничным вареньем, – не смог вовремя остановиться Вислощек.

– Курсант Мари, – скомандовал полицейский, – задержать…

Но задерживать было уже некого. На сей раз Мари решила проявить нерасторопность, и все барабашки успели юркнуть в чуланы.

– Уф! – сказал Георг. – Ну наконец-то хоть что-то. Поздравляю с успешным проведением расследования, курсант Мари! Думаю, мы заслужили по бутылочке холодного пива.

Полицейский открыл холодильник, и Мари увидела полку с одинокой бутылкой пива, за которой высились пять банок брусничного варенья.

Глава 6
Образцово-показательный захват

Как кукукнется, так и кукарекнется.

Русская народная глупость

Самым надежным методом является метод проб и ошибок. Это установлено самым надежным методом.

"Пробная теория ошибок"

На следующий день в городе произошло потепление климата. Даже не потепление, а ужарение, узноение и упекление.

Мари шла через неподвижный раскаленный воздух, лениво глядя сквозь ресницы. Изнемогающий продавец мороженого толкал перед собой тележку, окутанную паром от тающего сухого льда. Вдоль пустых тротуаров медленно плавились брошенные автомобили. Повсеместно опущенные жалюзи из последних сил сдерживали огромное солнце, пытаясь не пустить зной в квартиры.

"Надо же, – медленно думала Мари, ступая по горячему тротуару. – Скольким людям, оказывается, не так уж и надо выходить из дому".

Сама Мари боролась с жарой… вернее, сама Мари не боролась с жарой. Как не боролась она с морозом или проливным дождем. Мари с жарой мирилась. Впускала жару в себя и плыла по неподвижному мареву, как довольная рыба по Мертвому морю.

"Хотя в Мертвом море, кажется, рыб нет. Ну так я и не рыба".

Думать в такой обстановке было не только бесполезно, но и приятно. Голова пустела, как вымерший от жары город, редкие мысли приходили неспешно, двигались плавно, не суетились и позволяли себя со всех сторон рассмотреть.

"Эти шесть съеденных полицейских… Шесть полицейских… эти шесть полицейских, наверняка они были напарниками Георга. Может даже… Может даже их съели на его глазах… Тогда понятно, почему он так не любит напарников…"

Мари перешла на другую сторону дороги, томно посмотрев налево, а потом направо. До назначенного места оставалось минут десять ходьбы – можно было подумать целых две мысли.

"Подумать две мысли… – повторила Мари. – То есть два раза о чем-то помыслить… Люди мыслят, то есть думают мысли… Интересно, а сами мысли могут думать? Могут ли мысли мыслить? Они могут приходить… уходить… ускользать… теряться… мелькать… мельтешить… озарять… Почему бы им еще и не мыслить? И что в таком случае мысли думают про тех, кто их думает?"

Неизвестно, что подумала о Мари эта мысль, но задерживаться в голове курсантки она не стала.

"Подумай о чем-нибудь более насущном, – посоветовала следующая мысль. – Например, об ужасах".

"Ужасы сидят в мрачных логовах и ждут своего часа", – послушно подумала Мари, хотя в такой солнечный день сама мысль об ужасах казалось ленивой.

"Смешно тебе? – обиделась мысль. – Вот я посмотрю, как ты посмеешься, когда Омордень тебя заглатывать начнет".

"Ну Георга же никто не заглотил… – возразила девушка. – А он уже вон сколько лет с ужасами возится… Значит, знает, как не быть проглоченным… Значит, и меня научит…"

"Этот, что ли, научит? Ну-ну…" – мысль огляделась, сообразила, что в голове она одна, и побрела прятаться.

Мари подняла глаза и увидела вдали своего инструктора. Георг со страдальческим лицом стоял под деревом, время от времени делая странные телодвижения. Присмотревшись, курсантка поняла, что полицейский пытается полностью поместиться в клочке тени, которую нацедила редкая листва.

Георг с жарой не просто боролся – он бился с ней насмерть.

– Ох, какая жарища. Даже и не знаю, как до работы дойду. Зонт, что ли, взять? А ты… А ты уже все съела?! Умница, доченька!Видишь, если не таскать сладкое перед обедом, то и суп вкусный, правда?

– Да, – говорит Элен.

– Ну, раз мы сегодня такие послушные…

Мать подходит к серванту, сует руку в вазу.

Девочка ойкает.

– Что? – оборачивается мама. У нее в руке несколько конфет и все пальцы на месте.

– Мам, там же ножницы!

– А, это, – мама улыбается. – Ножницы страшны только непослушным девочкам, а нам они больше не нужны.

Она прячет ножницы в ящик.

– Приду, как обычно. Куплю что-нибудь вкусненькое моей послушной Элен. Хочешь шоколадный торт?

– Пришла, – сказал Георг.

– Вовремя, – сказал Георг.

– Молодец, – сказал Георг.

На протяжении этой медленной, как парафин в глицерине, речи старший инспектор четыре раза приложился к бутылке с минералкой, шесть раз вытер пот со лба и восемь раз произнес "Уф!". На мгновение Мари даже стало жарко, но она быстренько… нет, не так. Она не-то-ро-пли-во представила себя коричневой ящерицей, лежащей на большом гладком камне, и снова расслабилась.

– Ты чего… – Георг допил минералку, – на солнце стоишь? Иди… – вытер лоб, – под дерево…. – отжал платок, – тут тень… Уф-ф-ф!

Мари обдало суховеем.

– Но под деревом еще и вы, – сказала она и моргнула. – И вас больше, чем тени.

Георг наморщил лоб. На лбу образовалась дополнительная тень.

– Я. Тебя. Спасу, – наконец произнес он и от переутомления закрыл глаза. – Я выйду. А ты. Войдешь.

Мари хотела объяснить, что спасать ее не надо, но тут вспомнила, что она ящерица, и подняла лицо к солнцу.

– Как скажете, шеф.

– И не спорь.

– Не буду.

– Вот именно.

– Ага.

– А то вдруг пойдет дождь. Тогда ты не промокнешь. А я… – губы инспектора растянулись в улыбке. С левого уса упала крупная капля пота и зашипела, испаряясь на асфальте. – А я промокну…

Зацокали каблуки. Из подъезда вышла женщина. Над головой она держала бежевый зонтик.

– Зонт, – сказал полицейский пять минут спустя, – гениально! И как я не догадался?

На это курсантка ничего не ответила. Как люди о чем-нибудь догадываются, она примерно представляла, но как они не догадываются, можно было только догадываться. А догадываться, то есть теряться в догадках, Мари не любила.

Позади сдержанно просигналили. Девушка оглянулась. К ним медленно и неслышно, словно крадучись, приближался серый фургон. Эмблема на его двери была тщательно закрашена.

"Вот и спецназ подоспел", – подумала Мари. В городе существовала только одна эмблема, которую тщательно закрашивали, – эмблема Секретного Городского Спецназа. СГС являлся гордостью горожан. О его повышенной секретности знали все от мала до велика, включая средня.

Фургон подкатил к дереву и остановился. Из кабины высунулся знакомый Мари по ночной проверке усач с заклеенными знаками различия. Знаки были не нужны: то, что усатый – командир спецназа, без труда читалось на его бывалом лице.

– Здорово, Георг, – сказал он. – Где объект?

– В кузове… – ответил Георг, – хорошо.

– В кузове? Хорошо. А в каком кузове?

– В твоем кузове. Там хорошо. Там тень…

– Соберись, Георг, – строго сказал спецназовец.

Полицейские посмотрели друг другу в глаза и синхронно пошевелили усами.

– Собрался, – сказал Георг на десять процентов быстрее. – Готов.

– Давай вводную.

– Вводная… – сказал Георг. – Вода… В воде… Воды…

Спецназовец озабоченно посмотрел на Мари.

– Воды хочет, – объяснила девушка. – Перегрелся.

– Но-но, – монотонно произнес старший инспектор. – Я, может, и перегрелся, но котелок у меня еще варит. Вводная. Действовать будем быстро. Но только по моей команде.

"Если Георг с такой скоростью станет отдавать команды, – подумала Мари, – действовать будет поздно".

Зашуршали шины, и улицу заполнили автомобили. Скорая помощь, скорая психиатрическая помощь, патрульный джип, пожарная машина, аварийная газовщиков, броневик химической защиты и еще несколько машин, приезжающих в разных чрезвычайных ситуациях. Приехал даже обмахивающийся крестом священник. Из джипа выскочили двое сержантов, взялись было растянуть ленточку "Не пересекать! Спецоперация!", посмотрели на безмолвную улицу, переглянулись и запрыгнули обратно. Пересекать границу спецоперации сегодня было некому.

Георг обвел новоприбывших мутными глазами, скорчил гримасу и повернулся к Мари.

– Понаехали тут, – уныло сказал он.

Элен сидит на кухне и смотрит на закрытую дверь. За дверью коридор, в коридоре еще одна дверь, в комнату. Как только мама ушла, девочка закрыла все двери и спряталась на кухне. Здесь нет дивана, телевизора и часов, но нет и серванта с вазой.

Конфеты, выданные матерью за примерное съедение супа, лежат на кухонном столе неразвернутыми.

На кухне тихо, только время от времени глухо бормочут водопроводные трубы, а с улицы доносятся звуки подъезжающих машин. В другое время Элен непременно прилипла бы к окну, но сейчас ее интересует только одна вещь. Может ли злой петух ходить по квартире?

Водопроводные трубы, выдав очередную серию утробных звуков, замолкают. Перестают шуметь и за окном. Через какое-то время Элен начинает слышать тиканье часов. Потом за стеной что-то щелкает. Потом еще раз.

Щелк, щелк, щелк.

Так могли бы щелкать куриные когти по деревянной полке серванта.

Наверное, мама права, и ножницы послушным девочкам не страшны. Но про трехголовых петухов с зубами мама ничего не знает.

– Ты уверена? – пожарный посмотрел на Георга. – А сам он об этом попросить не может?

– Не может, – объяснила Мари. – Рот пересох.

Пожарный пожал плечами.

– Ну ладно. Что мне, воды жалко, что ли?

Струя холодной воды из брандспойта произвела чудодейственный эффект. Георг трижды перекувыркнулся, упал, проехал по луже, вскочил, упал, вскочил, выхватил пистолет и энергично прицелился в пожарных. И все это за пару секунд проделал человек, почти превратившийся в мумию! Ну разве не чудо?

Теперь эту волшебным образом появившуюся энергию следовало направить в конструктивное русло.

– К операции по захвату опасного рецидивиста Омордня готова! – отрапортовала Мари прямо в мокрое ухо инструктора.

Через минуту они сидели в спецназовском фургоне над схемой нехорошей квартиры.

– Рассредоточиваемся скрытно, – отрывисто говорил Георг, капая на схему. – Двое у дверей, двое у окна в комнату, двое – у окна на кухню, двое на лестнице страхуют двоих у дверей, двое внизу страхуют двоих у окна в комнату, двое на крыше страхуют двоих у окна в кухню.

Старший инспектор обвел взглядом сосредоточенно смотревшие из прорезей масок глаза бойцов.

– Надеюсь, не надо объяснять, кто какие двое?

– Ребята в курсе, – кивнул командир спецназовцев.

"Вот что значит настоящий профессионал, – уважительно подумала Мари. – А всего-то окатили из брандспойта…"

– Объект может уйти через темные и затемненные места, – продолжил Георг, – поэтому все, что можно, осветить всем, чем сможете. Я войду через дверь и подам условный знак, потому что стар я уже в окна сигать.

– Какой знак? – спросил командир.

– Я скажу: "Вот он, хватайте его" и покажу пальцем. Как там наблюдение?

– Ведется, – сказал самый щуплый (то есть наименее могучий) из спецназовцев и придвинул к Мари и Георгу очень секретное на вид устройство.

Инструктор повернул к курсантке один окуляр, а сам приник ко второму. В зеленых перекрестьях и шкалах дальности Мари увидела часть стены дома с двумя окнами. Затем изображение затуманилось, а когда прояснилось, стены стали прозрачными, открыв комнату и кухню.

На кухне сидел детский скелет.

– Ой, – сказала Мари.

– Резкость убавьте, – посоветовал самый хилый спецназовец.

Изображение поплыло, настроилось – теперь на кухне сидела девочка с торчащими в разные стороны хвостиками косичек.

– Ага… – пробормотал Георг, – ребенок прячется на кухне. Это хорошо. Значит, объект подкарауливает жертву или в ванной – это плохо, его оттуда не выковырнешь, или в коридоре – ни то ни се, или в комнате – это хорошо… Отлично! В комнате. Минутку…

Курсантка вгляделась в комнату и увидела на полке серванта довольно мерзкое существо – что-то вроде трехголового петуха с зубами. Петух прохаживался по полке, злобно поглядывая на пустой диван.

– Вынужден всех разочаровать, – сказал инструктор. – Операция отменяется. Вы свободны.

– В нашей стране все свободны, – сухо ответил командир спецназа. – Кроме тех, кто совершил противоправные действия. Ты мне лучше скажи – мы что, зря сюда по такой жаре перлись?

– Зря, – сказал Георг. – Так твою растак.

– Зря ты так, – сказал командир.

Бойцы уехали молча. Это было очень дисциплинированное подразделение. Остальные чрезвычайные службы недисциплинированно, но слаженно обругали Георга и сердито отбыли.

– Зачем вы их отпустили? – спросила Мари, когда они с инструктором остались одни.

– А зачем они здесь? Нашумят, натопчут, квартиру разворотят. Еще ребенка напугают.

– А как же… объект?

– Объект – самый обыкновенный Кококлокль, тривиальный случай. Мы его сами возьмем. План такой. Пункт раз. Входим, я кладу Кококлокля в мешок, уходим.

– А пункт два?

– Это план из одного пункта. Я же говорю, тривиальный случай.

– А мне что надо делать?

– Смотри, учись. Сейчас ты увидишь образцово-показательный захват.

Когда щелканье прекращается, Элен осторожно выходит в коридор. Там она долго стоит, настороженно прислушиваясь, потом толкает дверь в комнату и вздрагивает. На диване кто-то сидит. Через секунду девочка узнает своего плюшевого слона. Она смотрит на сервант – на полке только ваза с конфетами.

Элен опрометью бросается к дивану, и лишь забравшись на него с ногами и обхватив слона, оглядывается по сторонам. Никого.

На часах большая стрелка вверху, маленькая – в двух делениях от низа.

Элен смотрит на часы, шевелит губами, поворачивается к серванту.

На полке стоит трехголовый петух. Он разглядывает девочку, склоняя головы то вправо, то влево. Потом запускает лапу в вазу, вытаскивает конфету и – прыгает с полки! Приземляется на спинку кресла, метрах в двух от дивана. Становится на одну ногу, вторую, с конфетой, поднимает.

– Хочешь конфету, девочка? Конфета вкусная. Возьми, не бойся. Протяни ручку.

Крылья петух прячет за спиной. Элен знает, что куриные крылья не могут ничего держать, но слышит, как позади петуха тихо сходятся и расходятся лезвия ножниц.

Георг приложил ухо к двери, послушал, нахмурился.

– Поторопимся. Вскрывай дверь, быстро и тихо, я беру Кококлокля, ты прикрываешь и успокаиваешь ребенка.

Щелкнул замок, и полицейские вбежали в квартиру. Картина, представшая перед их глазами, очень Мари не понравилась. Трехголовый петух стоял на кресле, подавшись вперед и протягивая съежившейся на диване девочке конфету.

– Полиция, урод! – рявкнул инструктор, выхватывая мешок.

– Ага! – закричала девочка.

Петух глянул вбок, отпрянул, уронил конфету, дернулся к полке, но Георг лихо закинул туда проблесковый полицейский маячок. Мари бросилась к дивану и крепко обхватила девочку.

"Прикрыть ребенка, – вспомнила она указание начальника, – и успокоить".

Успокоить ребенка действительно не помешало бы. Ребенок радостно вопил, подпрыгивал на диване и, похоже, собирался броситься на ужас и поколотить его розовым плюшевым слоном.

– Ну тихо, ребенок, тихо. Тебя как зовут?

– Элен! Бейте его! Бейте! По головам его! Голову ему оторвите! Отрежьте ему ножки!

"А, ладно, – решила Мари, – пусть беспокоится. Она это заслужила".

Тем временем Георг, наступая на пятившегося Кококлокля, загнал его в угол между телевизором и сервантом. Кошмар уперся спиной в стену, двумя крайними головами зыркнул налево-направо, и поник всеми тремя гребешками. Инструктор раскрыл мешок.

– Сам полезай, – сказал он. – Некогда мне тут с тобой…

Фрррр! Кококлокль гигантским колибри пронесся между ног Георга и заметался по комнате. Полицейский не растерялся и заметался следом. Мари еле успела уклониться от столкновения с погоней, вскочив на диван. Девушка усадила Элен рядом, и они принялись подбадривать охотника за петухами криками: "Слева заходите!", "Вправо уходит!" и "Голову ему оторви, голову ему оторви, голову ему оторви!".

Вскоре хаотичное перемещение Георга и Кококлокля приняло упорядоченный вид – теперь они бегали вокруг кресла. Петух явно превосходил полицейского в стартовой скорости, как, впрочем, в финишной и в скорости на дистанции. Зато в арсенале Георга был многолетний опыт, и после двадцать какого-то круга он резко развернулся, собираясь поймать Кококлокля на встречном движении.

Запнулся одной ногой за другую.

И упал ничком.

Петух с гортанным криком пробежал по спине инструктора, обежал кресло и остановился хвостом к дивану. Он тяжело дышал и пытался заглянуть за кресло одновременно слева и справа.

– Элен, давай! – скомандовала Мари.

– На! – и девочка обрушила на пернатый кошмар розового слона.

От неожиданности Кококлокль осел, клацнул зубами об пол и тут же был пойман курсанткой за ноги. А поскольку начал трепыхаться – еще и пару раз шваркнут головами о стену.

На этом его неприятности могли не закончиться, поскольку Элен, хищно улыбаясь, уже подбиралась к петуху. Но тут из-за кресла поднялась мрачная туча с лицом Георга и сунула полумертвого Кококлокля в мешок.

– А меня вы в тюрьму не заберете, – сказала Элен. – Потому что я суп съела.

И покосилась на вазу с конфетами.

Когда полицейские вышли из квартиры, Мари ловко вернула на место замок и сказала:

– Показательное задержание мне понравилось. Наглядно и поучительно.

– В смысле? – повернулся к ней Георг.

– Вы очень хорошо показали типичные ошибки при задержании.

Инструктор тяжело посмотрел курсантке в глаза – честные, доверчивые, широко открытые – и только махнул рукой.

На улице Георга ждал новый сюрприз. Удушливая жара превратилась в оглушительный ливень.

– Бабье лето называется, – тоскливо произнес инструктор. – И как я зонт взять не догадался?

Глава 7
Чего боятся кошмары

Главное правило допроса – дайте высказаться и подозреваемому.

Из инструкции для женщин-следователей

Новая информация обессмысливает информацию, полученную ранее.

Из брошюры "Информационное голодание как метод очищения головного мозга"

Лесная старица в десяти километрах от города. Заброшенный домишко под побелевшим предутренним небом на берегу обмелевшего и затянутого ряской бывшего русла реки. Сама река уже много лет течет по другую сторону леса, а тут тихо, неподвижно, пусто.

Вообще-то сентябрьский лес, даже ранним утром и даже в десяти километрах от города, редко бывает пуст. Там обязательно кто-нибудь шебуршит, качает ветки или ползает между кустами. В крайнем случае, ползает между кустами, качает ветки и шебуршит какой-нибудь лесник или грибник.

Но лесник давно переселился в большой дом у нового русла, а грибники и прочая живность об ходят старицу стороной. Кто-то когда-то здесь то ли утонул, то ли повесился, то ли еще как сгинул, сейчас и не вспомнишь, но с тех пор старица пользуется дурной славой.

А сейчас дурной славой старицы пользуется существо с дурной репутацией. Омордень.

Ночной обход детских спален завершен, и заброшенный домишко с дурной славой – хороший вариант дождаться следующей ночи.

Большой, тяжелый, зубастый кошмар выходит из чулана и опускается на пол. Он недоволен. Мальчика защитили. Девочка перестала бояться, и он перестал ее видеть.

Ему пришлось самому искать следы страха. Но все, что он получил – это скудные порции беспокойства нескольких детей, которым снились плохие сны. Они даже не просыпались, когда он заглядывал в их спальни.

Но у него еще есть время. Он возьмет свое.

Утро Мари посвятила подготовке к допросу особо опасного ужаса. Начать подготовку она решила с особо плотного завтрака.

Девушка вдумчиво жевала "Курсантский комплекс № 1", когда к ее столику подошел лейтенант О. Нос его непрерывно двигался, уклоняясь от резких запахов, заполнявших столовую.

– Как практика? – спросил О.

– Все в норме, – отрапортовала Мари.

Лейтенант чихнул.

– В норме? Быть того не может. В нашем подразделении нормы не бывает. Скорее нормальным будет отсутствие нормы.

Мари задумалась и сказала:

– Тогда тем более в норме.

Лейтенант почесал нос. Он так и не научился разбираться, когда Мари издевается, а когда просто язвит.

– Хорошо, – решил он, – а ты дневник производственной практики ведешь?

Мари подавилась жидкой составляющей "Комплекса № 1".

– Понятно, – сказал О. – Непонятно, о чем ты думаешь. Как собираешься отчет о практике сдавать?

– Приду, доложу…

– Да кто ж тебе на слово поверит? Каждый день должен быть записан в дневнике, а каждая запись утверждена руководителем практики. А на каждом утверждении должна быть подпись командира отряда. Иначе ты, твой руководитель практики и твой командир отряда получат по…

Лейтенант замер. На раздаче открыли котел со свежей порцией "Комплекса № 3". О. прикрылся носовым платком и молча удалился.

"Дневник нужно срочно завести, – подумала Мари, глядя в удаляющуюся командирскую спину. – Завести, заполнить, отнести Георгу, утвердить, вернуться, предъявить. Срочно… Очень срочно… Желательно немедленно… Жанна должна дневник вести!" Дожевывая на ходу твердую составляющую "Комплекса" и рассовывая по карманам его десертную составляющую, девушка бодрой рысью двинулась в спальню.

Однако Командирша вела не дневник, а праздный образ жизни: валялась на койке с книгой "Новый взгляд на третий глаз".

– Жанна, – сказала Мари, – дай дневник практики переписать, а то лейтенант съест. А ты что, оптику учишь?

– Да нет, это мистические практики древнего Востока. Теоретический курс.

– А какое отношение практики имеют к теоретическому курсу?

– Мистическое, – сказала Жанна. – Дневник на подоконнике. Только переписывать не советую.

На обложке толстой серой тетради значилось:

Дневник производственной практики

курсанта <Засекречено> подразделения <Засекречено>

отряда <Засекречено> Высшей <Засекречено> Полиции.

Тема практики <Засекречено>.

Руководитель практики <Засекречено>.

Мари открыла секретный дневник. Серые страницы в клеточку заполнял твердый почерк, по которому невозможно провести графологическую экспертизу.

Первый день.

Дата <Засекречено>.

Тема занятия <Засекречено>.

Подпись руководителя практики <Засекречено>.

Виза командира подразделения <Засекречено>.

Второй день…

– А переписывать нельзя, – спросила Мари, – потому что все засекречено?

– Да переписывай, если заняться нечем. Но не советую. Советую взять этот дневник и показать лейтенанту.

– Это ты здорово придумала.

– Да это не я. И дневник не мой…

– А, это кто-то еще из подразделения 11, – сообразила Мари. – Кстати, ты не знаешь, чем остальные наши занимаются?

– Какие наши?

– Ну остальные курсанты из "двух дубин". Особенно тот… этот… – Мари пощелкала пальцами, – ну как его… Который на построении то ли был, то ли не был. Ну, он еще…

– Хватит щелкать, подруга, – Командирша перевернула страницу, – карманных денег не будет.

Мари подумала.

– То есть ты не знаешь, чем остальные занимаются?

– Радость моя, – сказала Жанна, – я толком не знаю, чем сама занимаюсь. А уж остальные… Зачем тебе это?

– Интересно.

– Интересно ей… – проворчала Командирша, неохотно прикрыла левый глаз рукой и вдруг быстро-быстро заговорила. – Курсант Р. находится в пространстве С+, выпаривает субстанцию Ре-До до состояния До-Фа, успешно. Курсант К. сдает норматив по виртуализации регенерируемой мнимости… Уже провалился, будет пересдавать. Курсант Ж. проникает в сущность условно сущего, подвергается невербализируемой опасности, уходит через двойной абецедарий…

– Что? – уточнила Мари.

– Понятия не имею, – сказала Жанна, открывая глаз. – А чего ты хотела? Ты дневник производственной практики внимательно прочла?

Мари посмотрела на засекреченные страницы и только сейчас осознала смысл тайного лозунга спецслужб: "Секретность – это гуманно".

Она подождала для правдоподобия десять минут и отправилась искать лейтенанта. Сделав круг по Школе, Мари спросила у дежурного по этажу, третьекурсника Алоиза:

– Не видал нашего отрядного?

Скучающий Алоиз с готовностью откликнулся:

– В оружейке он, новое личное оружие курсантов принимает.

Дежурный неуместно хихикнул.

– Чего смешного? – спросила Мари.

– Так оружие новое, а лейтенант старый.

Мари следовало заступиться за честь лейтенанта (который был вовсе не старый, хотя уже и не молодой – лет 25), но спорить с хихикающим Алоизом не хотелось. Девушка изобразила рукой нечто вроде благодарности и направилась к оружейной комнате.

Смех за спиной внезапно затих.

– Эй, – сказал посерьезневший дежурный, – ты туда лучше не ходи.

– Почему?

– А вдруг он голый? – сказал Алоиз и загоготал.

Мари чуть ли не бегом постаралась унести свое пунцовеющее лицо подальше от дежурного. "Ну чего я краснею? – разозлилась на себя девушка. – Подумаешь, лейтенант. Голый". Мари покраснела так, что кожа на щеках заболела.

Лейтенант сидел за столом для смазки вооружения и грустил. Он был совершенно не голый, наоборот, вооруженный отвертками, ершиками и даже консервным ножом. Новое личное оружие представляло собой гладкий черный цилиндр, единственной неровностью которого являлась мелкая кнопка на боку.

– Ваше приказание выполнено, – доложила курсантка, не отрывая взгляда от цилиндра.

– Молодец, – рассеяно ответил О., вертя личное оружие.

– А что это?

– Индивидуальный инфрамет. Массового действия.

– И как он действует?

Лейтенант направил конец цилиндра в окно и нажал кнопку. "Наверное, тоже секретное", – решила Мари, потому что ничего не произошло. Хотя нет, произошло. Лейтенант О. всхлипнул, хлюпнул носом, чертыхнулся и перевернул инфрамет к окну другим концом.

За окном находилось стрельбище, которое в перерывах между стрельбами занимали бездомные коты и собаки. Впервые в жизни Мари услышала, как коты воют в унисон собакам.

О. отпустил кнопку, и вой прекратился.

– Инфразвуковой излучатель, – сказал он. – Направишь такой на толпу погромщиков, и все впадают в уныние, теряют боевой дух и безропотно сдаются представителям власти. Никто не ранен. И никаких повреждений материальных ценностей. Очень удобно. Нужно только содержать инфрамет в порядке, правильно и своевременно его чистить…

Лейтенанта перекосило так, словно оружие массового поражения продолжало действовать. Тщательно обнюхав цилиндр, он взял отвертку и принялся колупать инфрамет.

– Удобно, – согласилась Мари. – Главное не перепутать, где у него дуло, а то в уныние впадет полицейский.

Лейтенант пожал правым плечом, пытаясь засунуть отвертку в несуществующее отверстие инфрамета.

– Хотя, если на тебя идет толпа погромщиков, – сказала курсантка, – ты и так в унынии, так что ничего страшного, если перепутаешь.

Лейтенант переложил отвертку в другую руку и пожал левым плечом. Инфрамет не поддавался.

– Только откуда у нас погромщики? – продолжила философствовать Мари. – Да еще целая толпа?

Лейтенант передернул плечами. Его гораздо больше занимали конструктивные особенности чудо-оружия.

– Я поняла! У нас потому и нет погромщиков, что есть инфраметы.

– Раз ты такая понятливая, – сказал О., – вот тебе тест на смекалку. Как правильно чистить индивидуальный инфрамет?

Командир протянул Мари цилиндр и встал рядом с видом человека, который сам-то все знает, но хочет посмотреть, на что способен подчиненный. Для убедительности лейтенант даже включил на наручных часах секундомер.

Мари взяла кусок ветоши, протерла поверхность цилиндра и положила инфрамет на стол.

О. похлопал глазами.

– Хм… – сказал он. – Действительно, чисто.

– Секундомер выключите, – попросила Мари, – а то вдруг в норматив не уложусь.

– Слово "норматив" мне что-то напоминает, – сказал лейтенант. – Почему-то столовую. Почему бы это?

Курсантка протянула дневник. О. зашуршал серыми страницами:

– …Засекречено, засекречено, засекречено… Все в порядке… Постой-ка! – лейтенант провел носом непосредственно над страницей. – А я, что, уже подписал? А когда я успел?

– А это секрет, – сказала Мари.

Единственный Городской Изолятор (ЕГИ) стоял в самом видном месте столицы. Он предназначался для граждан, совершивших незначительные правонарушения, а также преступников, значительность правонарушений которых еще предстояло выяснить. По замыслу властей, этот предбанник настоящей тюрьмы должен постоянно напоминать потенциальным преступникам о том, что их ждет, если что.

И действительно, в криминальной среде попасть в ЕГИ – словно мелкая сошка! на глазах всего города! – считалось позором. Поэтому уголовники были готовы пойти на любое злодеяние, лишь бы угодить в тюрьму напрямую, минуя изолятор. Тюрьма же располагалась в таком укромном уголке, что законопослушные горожане даже не подозревали о ее существовании.

Это значительно облегчало работу правоохранительных органов: у подозрительного гражданина достаточно было спросить, как пройти к тюрьме. И если гражданин знал – все, его можно смело брать и препровождать по указанному маршруту.

Поэтому опытные преступники никогда и никому не подсказывали дорогу, даже если это был их собственный дедушка, желающий добраться до гуманитарного фонда.

В свою очередь правоохранительные органы, ориентируясь по этой особой примете… Все, пора останавливаться, тем более что Мари уже подошла к ЕГИ.

У ворот изолятора грустил Георг с большим черным зонтом. Сегодня старший инспектор проявил предусмотрительность, но погода снова подкачала. Затянутое ровным слоем облаков небо не оставляло шансов ни проливному дождю, ни палящему солнцу.

– Ты опять вовремя, – сказал Георг. Понять по тону инструктора, похвала это или замечание, не удалось, поэтому Мари неопределенно кивнула. Такой кивок можно было расценить как скромную благодарность или сдержанное признание вины.

– Сегодня мы проводим допрос, – добавил полицейский.

– Образцово-показательный?

– Образ… – шеф запнулся и подозрительно посмотрел на курсантку.

Мари образцово-показательно показала себя образцом подчиненного: стояла смирно, не мигала и не думала. По крайней мере, снаружи мыслей заметно не было.

– Намеки и параллели с образцово-показательным задержанием неуместны, – на всякий случай предупредил полицейский. – Допрос будет учебно-практический. Ты на практике покажешь, чему научилась в Школе. Иди строго за мной, свернешь – попадешь в камеру.

Георг направился в изолятор. Курсантка двинулась за ним шагом, который можно было определить как кошачий строевой – четкий, но беззвучный.

В самом конце коридора, у камеры, запертой гораздо крепче, чем остальные, дежурил дежурный сержант. Время от времени он поворачивался к зарешеченному окошку и дежурно покрикивал "Не разговаривать!"

Заприметив Георга, сержант привстал со стула, подумал и помахал рукой у фуражки, изображая отдание чести старшему по званию, которому честь отдавать – слишком много чести.

Мари и Георг заглянули в окошко. Кококлокль сидел посреди ярко освещенной камеры на приваренном к полу табурете и переговаривался между собой.

– Прям чудеса какие-то, – произнес за спиной сержант. – Слышу: говорят вроде трое, смотрю в камеру – пусто. Командую "Не разговаривать". Кстати… Не разговаривать! О, замолчали. А кто замолчал-то?

– Это невидимый трехголовый петух, – сказала Мари.

– Да ладно тебе, – не поверил дежурный. – Не может быть, чтобы трехголовый.

– Голов у него точно больше, чем у тебя, – сказал Георг. – Давай уже, открывай.

Сержант покопался в связке ключей, отцепил самый увесистый и отдал Георгу.

– Сам открывай. Я с твоими клиентами связываться не хочу. Не заметишь, как улизнет, отвечай потом перед начальством, почему в камере пусто.

– В камере не пусто, – сказал Георг.

– Я же вижу, что пусто, – возразил дежурный. – Но теперь за это отвечать будешь ты.

Старший инспектор проводил сержанта кислым взглядом и повернулся к Мари.

– Итак, с какого вопроса нужно начать допрос?

– А почему сержант его не видит?

– Не боится – вот и не видит.

– А я, значит, боюсь? – испугалась Мари.

– Нет, ты знаешь, что он есть.

– Но ведь сержант…

– Вообще-то, – сказал Георг, отпирая дверь, – когда я говорил про допрос, то имел в виду задержанного.

Три петушиные головы повернулись к вошедшим полицейским.

– Начальник пришел, – сказала одна голова.

– Зонт принес, – сказала другая.

– Бить будет, – сказала третья.

– Стажер Мари, – сказал инструктор, игнорируя кудахтанье кошмара, – приступайте к допросу.

Мари быстренько пролистала в уме страницы конспекта.

– Где зарыл труп? – рявкнула она сразу в три клюва. – Отвечай, быстро!

Кококлокль синхронно икнул.

– Ко-ко-какой труп? Куд-куд-куда зарыл?

– Вопросы здесь задаю я! – продолжала наступать Мари.

– Ого! – остановил ее Георг. – Неожиданно. Но преждевременно.

Девушка перелистала мысленный конспект к началу.

– Извините, я страницей ошиблась. Фамилия, имя, год рождения?

– Кококлокль, – сообщил петух. – Фамилии нет. Года рождения не помню. А в чем, собственно, дело, гражданка?

Мари пожалела, что вернулась к правильному началу допроса. Хохлатый ужас явно собирался наглеть. Поэтому она снова пролистала конспект – далеко вперед, и гаркнула:

– Где орудие преступления?

От неожиданности тот стукнулся головами.

– Какое орудие какого преступления? Не было ни того, ни другого!

–А ножницы? Которыми ты девочку пугал?

– Девочка все перепутала! Какие такие ножницы? Никаких таких ножниц! Это Я шутил! Перышками так – чик-чик!

Кококлокль пощелкал перьями, демонстрируя их похожесть на ножницы.

– Звук очень похож, – похвастался он, – и цвет. Неудивительно, что ребенок перепутал. А я просто шутил! Чик-чик!

Мари ловко вставила протокол допроса между щелкающими перьями. Кококлокль не успел среагировать, и на пол посыпалась мелкая бумажная стружка.

– Очень похоже, – оценил Георг.

– Так и запишем, – курсантка выдернула из петуха-шредера остаток протокола. – Орудие преступления обнаружено… но еще не изъято. Непорядок.

Кококлокль поспешно спрятал крылья за спину, чуть подумал – и сел на них.

– Видишь, к чему приводит упрямство? – сказал инструктор. – Хорошо еще, я здесь. Если она по моему недосмотру останется с тобой наедине, я тебе не позавидую. Глупо завидовать куриному бульону.

– Вы неправильно применяете метод "Злой следователь, добрый следователь", – вдруг сказал Кококлокль. – Злым должен быть Георг, потому что он старый и некрасивый.

– А вот такой я урод, – сказал Георг. – Старый, некрасивый, но добрый. И по доброте я тебя безо всяких угроз и допросов отправлю прямиком в… Догадался?

– Ох, ох, ох! – наперебой закудахтали головы. – Нет, нет, нет, только не в семью, не в семью!

Впервые Мари увидела ужас, который впал в ужас. Кококлокль забился под табуретку, коротко с собой подрался – три головы пытались спрятаться под двумя крыльями – и затих.

Мари решила, что у нее начались проблемы со слухом.

– В семью? – переспросила она. – Он хотел сказать, в тюрьму?

– Ну, кому и семья хуже тюрьмы, – усмехнулся инструктор. – Ссылка в многодетную семью без права выхода – это для кошмаров самое страшное наказание. Когда детей много, они ужасов не боятся, они с ними… играют, скажем так.

Трехголовый петух нестройно икнул. Георг заглянул под табуретку.

– Эй, ты, Петух Горыныч! У меня как раз есть на примете чудная семья; папа, мама и пятеро детишек от года до девяти. Родители недавно взрослого питбуля завели, так он от них через три дня сбежал. А детям с кем играть? С кем детишкам играть, я тебя спрашиваю?

– Не надо, начальник, – жалобно пропищали из-под табуретки, – давай по-другому…

– Можем и по-другому, – охотно согласился старший инспектор. – Оформляем тебе неумышленное, пишешь подписку о невыезде, получаешь свои тридцать три раза условно, и лети на все двенадцать сторон! Не нарушая условий подписки, разумеется.

– Что такое "тридцать три раза условно"? – спросила Мари.

– Следующие тридцать три раза пугать условно, то есть понарошку.

– "Понарошку", – проворчал Кококлокль, выбираясь наружу. – Клоуна из меня сделать хотите. Ладно, ваша взяла, согласен я. Спрашивайте, всех заложу.

– Всех не надо. Расскажи нам про одного. Про Омордня.

Петух застыл, глядя одной головой на Георга, второй – на первую голову, а третьей – куда-то в потолок.

– Глубоко копнул, начальник, – наконец сказал он. – Под самый корень. Я, конечно, не в курсе, но знаю одно мурло, которое знает одно чучело, которое знает одного обормота, который может что-то знать…

– Нет, надо действовать иначе, – сказал Георг, когда полицейские сделали восьмой круг по подвалу, но обещанное Кококлоклем мурло не объявилось.

– Надо, – согласилась Мари, глядя на затянутое паутиной подвальное окошко.

В паутине висели мухи. Мухи давно умерли. Паук, похоже, тоже.

– Нужна приманка. Какой-нибудь лакомый кусочек, на который он выманится. Давай подумаем, на что он скорее клюнет. Я уже старый и некрасивый, а ты…

– Не такой уж вы и старый.

Георг выжидательно промолчал. "Надо еще про красивого сказать", – подумала Мари, но соврать не смогла.

– Я опытный, – сказал инспектор, не дождавшись комплимента. – Поэтому ты оставайся, приманивай, а я в нужный момент выскочу. Включи воображение. Представь, что меня здесь нет, и в этом темном пустом подвале ты одна…

С этим словами Георг вышел из подвала – видимо, чтобы упростить задачу воображению курсантки. Правда Мари не совсем поняла, откуда инструктор внезапно выскочит, если его здесь не будет.

"Нельзя сомневаться в наставнике! – упрекнула она себя, усаживаясь на широкую трубу. – Он высококвалифицированный специалист. – Похожее на скороговорку слово "высококвалифицированный" Мари понравилось, и она его повторила. – Высококвалифицированный специалист, знающий, опытный, бывалый, старый, некрасивый… На самом деле, не такой уж и некрасивый, только старый. Если он закончил Школу в 1981-м, то ему больше сорока… но меньше пятидесяти". Где-то закапала вода – сначала быстро и хаотично, потом все медленнее и размереннее.

Кап. Кап. Кап.

Отчего-то стало тревожно. Скоро девушка поймала себя на том, что ждет каждую следующую каплю. В мгновение перед тем, как раздастся очередное "кап", у нее чуть-чуть перехватывало дыхание. Вот уже Мари и дышала в заданном ритме: "кап" – вдох, "кап" – выдох. С каждым разом расстояние между вдохом и выдохом чуть удлинялось, словно кто-то растягивал тугую резину.

Девушка облизала пересохшие губы. "Что за ерунда! Это всего лишь вода…"

Кап. Кап. Кап.

Мари почувствовала, что ее пульс замедляется, подстраиваясь под ритм капель. Она прислушалась к себе, и поняла, что сердце бьется в унисон с падающей водой – все реже и все громче.

Кап. Каап. Кааап.

Сейчас упадет последняя капля, и сердце остановится.

"Да это же кошмар! – поняла Мари, и ей сразу полегчало. – Вот оно что! Он кошмар, я боюсь. А я-то перепугалась".

Подвальное окно треснуло, брызнули белесые стекла, влетела, шипя и плюясь, сигнальная ракета. Стало светло как днем, если, конечно, днем выпалить в подвале из ракетницы.

– Мордой на землю! – раздался рык Георга.

Девушка много раз на тренировках слышала эту команду, и ее тело автоматически пришло в движение.

Раз – занять выгодную позицию. Два – оценить обстановку (подозреваемый один, оружия не видно). Три – переместиться к подозреваемому и помочь ему выполнить указание старшего группы.

Только после этого Мари начала соображать… и едва не выпустила подозреваемого. Он оказался мелкий, холодный, склизкий, обросший бородавками да еще с глазами на коротких стебельках. Но курсантка тут же опомнилась и ухватила задержанного покрепче. Мало ли какие подозреваемые бывают. Тем более что вел он себя, как обычный воришка, который попался на кармане.

– Да фто ш это такое! – шепелявил задержанный, вращая стебельками. – Я тут себе стою, фоздухом себе дыфу, а тут на тебе! Хватают, лапы ломают, даже документоф не спрашифают!

– Я тебя, Мокрохлюп, сейчас спрошу, – произнес Георг ласковым голосом приходского священника, застукавшего в церковной кладовой представителя другой конфессии.

Склизкий сразу перестал булькать. "Не тот Мокрохлюп, который Чвак Колодезный, – вспомнила Мари показания барабашек, – а который Каранбуль".

– И про документы спрошу, и про воздух, и про условия досрочного освобождения. Понравилось, значит, тебе с детишками? Соскучился по Рите с Адой?

– Рита с Адой? – удивилась курсантка. – Кто это?

–Две девчонки-невелички. Три года и четыре. Помнишь, я рассказывал про питбуля, которого в многодетную семью купили? Так вот, Рите с Адой родители никогда собаку не купят. Потому что родителям, – Георг повысил голос, – жалко собак.

– Нафальник, – голос подозреваемого всплеснул тревогой, – не фути так, да?

– Какие шутки? Нарушение условно-досрочного – это не шутки. Ты, Каранбуль, теперь у нас рецидивист. То-то Ада будет рада.

– Не имеефь прафоф, – мокро хлюпнул Мокрохлюп, – и доказательстф у тебя нету.

– Как это нету? – Георг повертел перед носом задержанного предметом, напоминающим диктофон. – Тут все записано: и как ты капал, и как она боялась, Кстати, молодец, стажер. Боялась качественно. Запись хорошая получилась.

"Ничего себе приборчик, – подумала Мари. – А нам про такие не рассказывали!"

– Ладно, курсант, – сказал шеф, – слезай с него. Теперь, когда у нас есть оперативная запись, никуда он не денется.

– Ну ты и противный, Каранбуль, – сказала Мари, отирая руки о штаны. – Ты бы хоть мылся иногда.

– А смысф? – удивился кошмар. – Я и так мокфый.

Георг с хлопком раскрыл зонт и достал из него мешок.

– Нафальник, – снова начал разводить мокроту Каранбуль, – может, дововоримся?

– Может, и договоримся, – кивнул Георг. – Нам нужен Омордень.

– Нифего не фнаю, – тут же квакнул бородавочный ужас.

Полицейский прищурился.

– Я как на духу, – воскликнул кошмар, растопырив для убедительности глаза-стебельки. – Фсе, фто знал! Фсе, чтоб мне засфефиться! Я федь мог нафрать тебе пофную шляпу, но я фе с поняфием!

– Решил под дурачка косить? Хочешь, чтобы я на тебя Мари напустил? Мари, допрос!

– Где зарыл труп?! – гавкнула Мари. – В смысле, где утопил труп?!

– Она фто у тебя, бефеная? – уважительно спросил Каранбуль.

– А то, – гордо сказал Георг.

Кошмар раскатисто шмыгнул носом.

– Мне нуфно подумать.

– Может, тебя еще сигаретой угостить? – рассердился Георг. – Иди думай, у тебя тридцать секунд.

Склизкий ушлепал в темноту, где принялся думать – протяжно вздыхать.

– Надо же, до чего наука дошла, – сказала Мари. – Теперь и страх записывать можно!

– Что? – оживился Георг. – Правда? Здорово! А то я этой штукой (он помахал диктофоном) уже который год шпану развожу! Все боюсь на какого-нибудь умника нарваться. Надо будет заказать в Управлении. Эй, мыслитель! Время вышло! Или информация, или тебя ждет ад… Ада. И Рита!

Каранбуль вышел на свет и несколько раз горестно вздохнул, напомнив Мари забарахливший кран.

– Ну, корофе, фнаю я офного охламона, который фнает офного отфорозка, который фнает офного обалдуя…

Берег лесной старицы. Заброшенный домик лесника выглядит каким-то озябшим и съежившимся – то ли от красного закатного солнца, то ли от того, что у него внутри.

Небольшое существо, перебегая от куста к кусту, добирается до двери и шмыгает в дом.

– Хозяин, хозяин, хозяин! – из окна с выбитым стеклом доносятся сразу несколько одинаковых голосов. – Хозяин, тебя мешочники ищут. Меня замешковали, все про тебя спрашивали. А я тебя не выдам, не выдам…

Суетливое кудахтанье обрывает другой голос, низкий и тяжелый, от которого домик съеживается еще больше.

– Ты меня не выдашь.

Звук, как будто одно очень большое существо – проглотило другое существо, поменьше. Из окна с выбитым стеклом вырывается клуб морозного воздуха. Тишина.

Омордень делает шаг к окну и смотрит на темнеющую ряску. Скоро ночь. Петух и тот… другой, не оправдали его ожиданий. Этой ночью ему снова придется искать самому. Еще одна полуголодная ночь.

Утром он опять вернется отсыпаться сюда, в заброшенный дом, но через день переберется в другое место. Там как раз все будет готово к его приходу.

И там недостатка в испуганных детях не будет.

Объект **№ 664**

ЧВАК КОЛОДЕЗНЫЙ

Вид:**мокрохлюп (подвид: деревенский)**

Нижнего действия. Издает пугающие звуки под ногами у пугаемого.

Малоподвижен, но и малозаметен.

По-своему мил.

Ареал преимущественного обитания (место лежки): **дворы с колодцами в сельской местности.**

Способ нейтрализации: **а зачем? Пусть себе хлюпает.**

Количество поимок: **12897**

Боится других ужасов, особенно городских родственников.

Объект **№ 1281**

КАРАНБУЛЬ

Вид: **мокрохлюп (подвид: городской).**

Малоподвижный, плаксивый. Предпочитает акустические эффекты, так как внешность его ужаса не внушает. Характер вредный.

Ареал преимущественного обитания (место лежки): **ванные комнаты, которые давно пора отремонтировать, да все руки не доходят.**

Способ нейтрализации: **затычки для ушей или ванн.**

Количество поимок: **17**

Часто появляется после визита сантехника.

Глава 8
Кококлокль табака

Такого кошмара я не видел никогда!

Г. Ярцев после матча Португалия – Россия

Кто ищет, тот всегда найдет!

Из сборника "Самые идиотские проблемы, найденные людьми по собственной инициативе"

Георг сидел на полу. Еще вчера подобное было немыслимо, но сегодня утром Мари всего за полтора часа расчистила центральную часть офиса. Чтобы снова завалить пол протоколами допросов, старшему инспектору понадобилось целых пятнадцать минут.

– Та-а-ак, – бормотал полицейский, переводя осоловелые глаза с одной кипы бумаг на другую. – Попробуем сначала. Сначала Кококлокль навел на Каранбуля…

"Да, давно это было", – подумала Мари. Обход кошмаров продолжался всю ночь, и у девушки перед глазами до сих пор кружились рыла, морды, пятачки, пасти, присоски, ложноножки, гладкие щупальца и мохнатые лапы. Если бы не способность Мари принимать жизнь такой, как есть, дело могло кончиться визгами, истерикой, нервным срывом, увольнением из полиции, приходом в модельное агентство, фотографиями на обложках журналов и выходом замуж за принца Брунея. В общем, не так уж плохо все могло кончиться.

– …Каранбуль заложил Терецугу, – продолжал Георг, – та дала массу ценных показаний, из которых самое интересное – рассказ о Шкафоиде. Якобы тот взялся не только за старое, но и за очень старое, практически древнее. В свою очередь, Шкафоид поклялся страшной клятвой, что ни за что он не брался, хотя Отхлебник склонял…

"Ни за что не возьмусь! – вспомнила Мари страшную клятву Шкафоида. – Чтоб меня короед сожрал!"

– …Отхлебник все признал, но ничего не подтвердил. Зато сообщил любопытную информацию о странном поведении Вампурынды. Ты когда-нибудь слышала, чтобы Вампурында строгала балясины на рассвете?

– Нет, – ответила курсантка, которая до прошлой ночи вообще не слышала о Вампурынде и балясинах.

– Естественно! Ведь она строгает только на закате! Но у Вампурынды нашлось логичное объяснение своим странностям. Слишком логичное – новый хахаль. Хахаль знатный, без балды. Сам Одекорбит.

Мари слегка поморщилась. Ей не понравился безголовый Одекорбит. "Впрочем, – подумала она, – цыплята табака тоже без голов, и ничего, едят люди".

Хрустящий ароматный цыпленок табака ворвался в хоровод кошмаров и закружился, расталкивая рыла и пасти короткими крепкими крыльями. Мари точно знала, что в холодильнике, замаскированном под сейф, из съестного хранится только пиво и брусничное варенье, но это девушку не смутило. Она прошла на кухню и вскоре нашла второй холодильник, который довольно успешно прикидывался шкафчиком для одежды.

Порывшись в сломанных вешалках и дырявых ботинках, Мари откопала банку тушенки, пачку вермишели, почти полную солонку, почерневшую кастрюлю и одно куриное яйцо, которое девушка с величайшей осторожностью вернула на место.

Пока вода пыталась закипеть на старой электрической плитке, девушка думала, насколько все-таки мир не похож на то… в общем, на то, на что он похож. Мало того, что ужасы из чулана оказались реальностью. Эта реальность была повсюду. Да, за некоторыми кошмарами пришлось полазить по сильно пахнущим извилистым местам вроде заброшенного коллектора. Но иногда, на самой обычной улице, Георг просто протягивал руку и выхватывал очередное страшилище из воздуха…

Мари закрыла глаза, протянула руку в сторону и нащупало что-то угловатое.

На буфете стоял ящик, расписанный иероглифами. Курсантка осторожно открыла ящик и увидела внутри дюжину расписанных иероглифами шкатулок. Мари решила, что в каждой из шкатулок находится по 12 коробочек, но шкатулки не открывались. Зато на боку каждой торчала круглая розовая кнопка.

Девушка нажала кнопку на одной из шкатулок, и оттуда полилась умильная мелодия явно китайско-электронного происхождения. В мелодии Мари с удивлением узнала песню про милого Августина.

Рядом со шкатулками лежал розовый пульт с такой же розовой кнопкой. Курсантка, конечно же, немедленно ее нажала. Шкатулки заиграли все разом – каждая что-то свое.

Она торопливо выключила чудовищную какофонию и прислушалась.

– Одекорбит настучал на Рассорабору, – бормотал из комнаты инструктор, – Рассорабора выдала Обознайку, Обознайка показала на Вымру, Вымра заложила Набля, Набль навел на Хруса… Хрус… Хрус…

Полицейский замолчал. Видимо, показания Хруса, ужаса, состоявшего преимущественно из локтей и коленей, требовали серьезного вдумчивого анализа.

– А что я тут стою! – спохватилась девушка. – Георг там проводит аналитическую работу, а я тут… стою. Зря время теряю.

Мари посмотрела на кастрюлю. В кастрюле безмятежно плавала вода.

– Ты тут пока побудь, – сказала курсантка, – а я пошла. И не вздумай вски…

Вода немедленно вскипела.

Георг действительно зря времени не терял, а спал чутким сном опытного полицейского. Стоило Мари поставить на стол пахнущую тушенкой кастрюлю, как инструктор ясным голосом произнес:

– Следствие располагает несколькими интересными версиями, но интересы следствия не располагают к обнародованию версий.

После чего открыл глаза, сказал: "А. Ты" и признался:

– Честно сказать, следствие застряло на одной точке.

Георг повращал головой, словно компас во время магнитной бури, с кряхтением поднялся и принялся массировать точку, на которой застряло следствие.

– А что это такое? – Мари включила шкатулку. Та издала набор звуков, которые при большом желании можно было принять за гимн Китая.

– Это? Средство от кошмаров.

– Кошмары боятся такой музыки?

– Скажем так, не любят… – Георг скривился. – И я их понимаю.

– А почему мы эту музыку не используем?

– А как? Шкатулки отпугивают кошмары, а нам наоборот, их ловить надо… Да выключи ты это пиликанье! На чем я остановился… А! Хрус! Этот говорил мало, но он говорил конкретно, – полицейский уставился на три странички убористым почерком. – Сдал своего старого кореша Страхона. Сдал с потрохами.

– Завтрак, – сказала Мари, стараясь не вспоминать о кореше Хруса. Страхон с потрохами выглядел отвратительно. – Не потроха, конечно, но есть можно.

– Сначала зарядка, – полицейский сделал полприседания. – Так, Страхон тоже не стал ломаться…

"Как может ломаться груда вязкого студня?" – подумала девушка.

– …и сообщил, что если кому и знать про Омордня, так только Кококлоклю, – Георг замер в приседании. – Который час?

– На которых часах? – уточнила курсантка, глядя на часовой иконостас.

– На твоих наручных.

– 10:33.

– Нехорошо, – инструктор попытался встать, но получилось только завалиться набок.

– Вам нехорошо?

– Кококлокль поступил нехорошо, – ответил Георг с пола, – а ведь он зуб дал, что в 10:00 придет отметиться.

Мари вспомнила, что при оформлении подписки о невыезде Кококлокль действительно отдал им один из своих зубов.

– Ну вот, он зуб дал, а мы и поверили, – расстроилась она. – А он не придет.

– Придет, куда денется, – полицейский решил, что раз уж он все равно на полу, можно сделать пару отжиманий. – Ужасы любую часть себя за километры чувствуют, как будто она… все еще… с ними… Уф…

Георг закончил второе отжимание и понял, что пора вставать.

– Ага, – поняла девушка. – Если Кококлокль сбежит, а мы этот отдельный зуб начнем сверлить…

– Правильно понимаешь. – Шеф повертел головой в поисках гири, не обнаружил и стал поднимать фуражку.

– А где же он? – спросила Мари.

– Небось, загулял на радостях да и проспал. Ну ничего, явится, я ему…

– Да нет, где зуб?

– Во внутреннем кармане моего кошелька. Кошелек во внутреннем кармане моего кителя. Китель на спинке стула.

Курсантка внимательно осмотрела помещение. Ни на чем, что сошло бы за стул, не висело ничего похожего на китель.

– А стул, на котором китель, где?

– А? Китель? – Георг завершил то, что он называл зарядкой, и направился к кастрюле. – Китель в шкафу, конечно.

Мари открыла шкаф. Китель, как и положено одежде, находился в шкафу. Там же стоял стул, на котором китель, собственно, и висел. Подивившись полноте информации, которой с ней поделился начальник, Мари извлекла кошелек, из него – завернутый в платок предмет, развернула, удивилась и сказала:

– Он какой-то…

– Прозрачный? Понятно. Отличные макароны. Значит, наш пернатый друг все же подался в бега. Чем дальше Кококлокль от зуба, тем прозрачнее зуб. И какой головой он только думал?! О, тут и мясо есть!

Мари тронула полупрозрачный зуб пальцем и отдернула руку.

– Ой! Он ледяной!

Инструктор выглянул из-за, плеча стажерки.

– М-м-м! – мрачно промычал он, вынул ложку изо рта и сказал. – Пропал Кококлокль.

– Пропал? Попал в холодильник?

– Да какой холодильник?! Съели его.

– Кто?

–Угадай.

Мозг курсантки четко выполнил команду. В памяти возникла темная спальня. Монстр, упирающийся головой в потолок. И клубы морозного воздуха из пасти.

– Омордень?! – ахнула Мари. Воображение тут же нарисовало ей Кококлокля в виде трехголового замороженного цыпленка табака.

Вернее, замороженного цыпленка табака без трех голов.

– Некогда горевать по всяким пернатым недоумкам, – сказал Георг, верно расценив выражение лица курсантки. – Бери платок, побежали!

И бросился из офиса. Мари из вежливости дала ему фору в пять секунд, которую отквитала через семь.

– А куда бежим? – спросила она.

– Кококлокля искать.

– Но ведь его уже съели…

– Но зуб-то еще цел, – начальник со значением посмотрел на Мари, отчего некоторое время бежал боком, как краб. – У тебя хорошая зрительная память?

Девушка кивнула и стала внимательно поглядывать по сторонам. Видимо, дорогу назад следовало находить по памяти. Пробежав три квартала и вызвав десяток одобрительных возгласов прохожих, Георг остановился и попытался отдышаться. Потерпев неудачу, он протянул руку и ткнул пальцем в платочек.

– Изме… нился? – прохрипел полицейский.

– Таять начал.

– Не… проч… ность… Проз… рач… ность…

Курсантка напрягла зрительную память и прищурилась.

– Немного прозрачнее стал, – решила она.

Георг взмахнул рукой, как пловец стилем "кроль", и устремился назад к офису, по дороге забирая немного вправо. Возле городского фонтана ("Терпящий мальчик", начало XX века) он снова повернулся к стажерке.

– Кусочек отвалился, – сообщила Мари. – Зато теперь он не такой прозрачный.

Георг резко повернул под прямым углом.

Так они бегали довольно долго и по довольно сложной траектории. Время от времени шеф останавливался и уточнял степень прозрачности зуба. Когда привалы стали слишком часты, Мари предложила:

– А давайте я без вас? Принцип я поняла. Нужно определить направление, в котором зуб становится менее прозрачным. Это и будет направление на Кококлокля, – она посмотрела на крохотную округлую ледышку. – То есть на то, что от него, горемыки, осталось.

– Умница… девочка, – смог сказать старший инспектор и повалился на скамейку.

Через несколько минут Мари вернулась. Георг дышал уже почти нормально, только все время вытирал лицо рукавом. Стажерка показала инструктору платок с продолговатым влажным пятном посередине.

– Не успели, – инструктор печально снял фуражку и вытер ею лоб. – Давай сюда платок.

Девушка решила, что теперь шеф начнет вытираться платком, но Георг свернул его и сунул в карман.

– Что ж, – сказал он, – мы сделали все, что могли…

– Пока мы смогли только определить направление, – сказала курсантка. – Строго на северо-северо-северо…

– В смысле на север?

– …северо-восток. Это не совсем север. Вот, смотрите, я проложила азимут.

Мари вынула из рукава карту города.

Георг посмотрел на прямую линию, проведенную твердой девичьей рукой, потом поднял голову и вгляделся в даль. Азимут проходил строго по главному проспекту города – прямому, широкому и наводившему на мысли исключительно о светлом будущем. И уж никак не на мысли о темных закоулках с затаившимися пожирателями кококлоклей.

– Уверена?

– Как в себе самой! – отрапортовала курсантка. – У меня два зачета по учебно-боевому ориентированию в Сосновой роще.

Георг уважительно пошевелил усами. В полицейской школе Сосновая роща издавна считалась гиблым местом. Несмотря на небольшое количество сосен, сориентироваться в них и уложиться в норматив удавалось лишь одному из десяти курсантов.

– А почему два?

– Экзаменационная комиссия заблудилась, а я их вывела.

Георг энергично зевнул и поднялся со скамейки.

– Тогда пойдем.

К лесной старице полицейские вышли ровно в 13 часов 13 минут.

"Нехорошее время", – автоматически отметила Мари, рассматривая нехорошее место.

– Искупаться бы, – медленно сказал Георг.

– Я купальник не взяла, – медленно сказала девушка.

Долгое пешее путешествие и ее ввело в состояние философской задумчивости. Большую часть пути они прошли молча. Инструктор первый час зевал и ворчал, потом только зевал, а потом просто брел, наводя на размышления о бренности всего сущего.

– Жаль, – сказал Георг. Мари слегка покраснела.

Они посмотрели на покосившийся домик лесника. Выбитые стекла, почерневшие от дождей деревянные стены, прохудившаяся крыша. Домик напоминал заброшенный много лет назад офис Георга и выглядел нежилым даже для ночных кошмаров.

– Я тут подумал, – сказал инструктор. – Может, Омордень ночью действительно съел Кококлокля здесь, но с какой стати ему быть здесь сейчас? Жаль, что я это тут подумал, а не в офисе. Зря тащились в такую да-а-а-а…

– А вдруг? – спросила курсантка.

– …а-а-убедила, – завершил зевок Георг, – Оставайся здесь, наблюдай за обстановкой, и чтобы ни одна мышь не проскочила незамеченной. А я обойду дом по-а-о-у периметру…

Пока Мари дожидалась начальника, мимо нее проскочило три мыши. Все они были замеченными и, как показалось девушке, страшно перепуганными. Вскоре и сама Мари начала беспокоиться – настолько, что, презрев инструкцию и прямой приказ непосредственного начальника, покинула пост и отправилась на поиски.

Начальника она обнаружила ровно посередине периметра. Георг внимательно жмурился, бдительно сопел и выглядел довольным жизнью. Лопухи, в которых устроился инструктор, покачивались под легким ветерком, отгоняя от лица полицейского мух.

Мари достала из сумки термос, налила в крышку кофе и заколебалась. Вылить кофе в начальника или на него? Благоразумие и здравый смысл взяли вверх, и Мари выпила кофе сама. Потом нагнулась к уху Георга и громко зашептала:

– Пых-пых-пых! Заберу-заберу-заберу! Утащу-утащу-утащу!

Инструктор вскочил, – разбрасывая лопухи, завертелся, наткнулся взглядом на стажерку.

– Что это было?

– Пыхталка.

– Какая Пыхталка?!

– Ну такая… лохматая. Я ею в детстве сестру пугала. Правда, по правилам нужно еще за бока щекотать…

– Щекотать за бока?! – Георг схватился было за ребра, но спохватился и перестал хвататься. – Черт знает что. Пыхталку какую-то выдумала…

Полицейский подошел к берегу и в каком-то смысле искупался – стал на четвереньки и сунул лицо в воду. Вернулся Георг с лицом, покрытым мокрой зеленой ряской, но ничуть не менее сонным.

– Доложи обстановку, – приказал он и зевнул.

Мари доложила.

– Хорошо, – сказал Георг, – только быстро. Я зевал, ничего из твоей трескотни не понял. Скажи просто – никто не входил, никто не выходил?

– Нет. То есть да. В смысле да, никто не входил, нет, никто не выходил.

– Ну и славно. Можем пока… это… – Георг снова зевнул.

– Почему спать? – Мари возмутилась в пределах субординации. – Нам же преступника нужно брать с поличным!

– Кто сказал "спать"? Ты сказала "спать"? Оно, конечно, нельзя-а-а-ау. Но я-а-ау…

– Не спать! – Мари поняла, что в пределах субординации она не удержит начальника от повторного сна. – Сосредоточиться! Действовать по плану! Кстати, а какой у нас план?

– План? Ну схожу в дом, посмотрю, что там и как…

– Может, сначала группу поддержки вызовем? Пожарных, скорую, спецназ…

Георг умудрился сморщиться, не прекращая зевать.

– Хотя бы спецназ?

Шеф продолжил зевание, но уже с оттенком брезгливости.

– Тогда хотя бы Школу по тревоге поднимем?

Георг с лязгом сомкнул челюсти и сказал:

– Не будем мы никого поднимать. Пусть хоть кто-нибудь сегодня выспится.

И полицейский еще раз зевнул – коротко, но с хорошей амплитудой.

– Да и нет тут никого. У преступников никогда не хватает вежливости дождаться полиции на месте преступления. Представляешь – мы приезжаем, а он сидит. Прямо на месте. Преступления. И сжимает в руках орудие. Сидит и не рыпается. Лучше спит… Посапывает…

– Шеф!

Георг дернулся и открыл глаза.

– Вот это была бы работа. А так. Ладно, посторожи выход, чтобы зеваки не лезли.

Слово "зеваки" что-то напомнило шефу, и он с трудом удержал челюсти сжатыми. Мари огляделась. По-видимому, зеваки притаились в кустах, ожидая, пока Георг войдет внутрь.

– И не спи тут, – с завистью сказал полицейский, помотал головой, побил себя по щекам, пробормотал: "Опять забыл побриться" – и вошел в маловероятное логово Омордня.

Девушка подобралась и прислушалась к шагам инструктора.

Раз, два, три, четыре. Остановился. Пять, шесть. Поднял что-то с пола, бросил.

Семь, восемь, девять. Чем-то пошуршал, как будто поворошил кучу листьев. Зевнул. Десять, одиннадцать. Подвинул туда-сюда табурет. Двенадцать. Снова пошуршал. Тринадцать. Зашуршал в двух местах одновременно. Хрюкнул. Тяжело опустился на пол.

"Опять уснул?" – собралась удивиться Мари, но не успела. Следующий звук ее озадачил – как будто Георг пополз по полу без помощи рук. Или… как будто Георга кто-то потащил по полу!

Курсантка на бегу выдернула из кармана гранату со слезоточивым газом, оценила ее неэффективность, спрятала в другой карман, извлекла и спрятала наручники, дубинку, временное удостоверение полицейского… Бегала Мари быстро, но и содержимым карманов оперировала умело. К моменту, когда курсантка увидела ноги начальника, в ее руке оказалась световая граната. Больше перебирать времени не было.

– Георг! Глаза! – крикнула она и швырнула гранату на пол.

Пыхнуло так, что Мари в подробностях рассмотрела собственные веки. А заодно проанализировала то, что увидела перед вспышкой. Она успела к самому интересному. Омордень – а это был именно Омордень, видимо, решивший проявить вежливость и дождаться полиции – наполовину затащил Георга в чулан.

Курсантка открыла глаза. Монстр держал по-прежнему неподвижного Георга за шею и моргал, фокусируя взгляд. Сфокусировался на Мари, прищурился. Криво усмехнулся, показав примерно треть зубов. Попятился, дернул полицейского на себя. Георг молча вскинул руку, уцепился за косяк.

Мари бросилась вперед и ухватила шефа за стоптанные ботинки. Из чулана рыкнуло, дунуло пронзительным холодным ветром, и из мрака показалась морда Омордня.

– Отдай! – скомандовала девушка. – Это мой инструктор! Ишь, захапал! Много таких желающих.

Девушка уперлась в пол и потянула что было сил. Увы, сил у нее было не столько, чтобы пересилить Омордня. Рывок туда, рывок сюда, и Георг вернулся в исходную точку. Рывок туда, рывок сюда. Инструктор застонал.

И тогда Мари запела. Песню "We wish you a Marry Cristmas". Запела противным тонким голосом. Можно сказать, запиликала.

Пару секунд ничего не менялось, если не считать метаморфоз с физиономией Омордня. Она поехала вверх, как если бы кошмар поднял несуществующие брови, потом вытянулась вниз так, что чуть не коснулась пола. И исчезла.

Мари с Георгом кувыркнулись и дружно стукнулись о противоположную стену.

– Вы мне чуть голову не оторвали, – пожаловался снизу Георг. – Пыхталки чертовы.

Объект **№ 6774**

КОКОКЛОКЛЬ

Вид: **откусыватель/отрезатель.**

Подвижный, наглый, крикливый. Возможно является потомком вымершего кошмара Змея Многоголового. Во всяком случае, распускает такие слухи.

Ареал преимущественного обитания (место лежки):**задворки птичьих дворов.**

Способ нейтрализации: **демонстрация хорошо заточенного кухонного ножа.**

Количество поимок: **392**

Урон, нанесенный мировому птицеводству: 815 преждевременно зарезанных петухов-производителей

Объект **№ 5008**

ВЫМРА

Вид: **левитирующий стонатель.**

Подвижная, порывами до неуловимости. Способна вымотать душу подвываниями.

Умело создает ощущение предмета, неприятного на ощупь.

Ареал преимущественною обитания (место лежки): **старинные замки, не брезгует также комнатами с высокими потолками.**

Способ нейтрализации: **сквозняк.**

Количество поимок: **2**

Стала причиной возникновения легенд о привидениях.

Глава 9

Ужас по вызову

На ловца и зверь бежит, и дождь капает, и соседи жалуются, и жена ругается.

"Самоучитель охоты с рогатиной"

Доброе слово и сволочи приятно.

Из "Правил хорошего, хотя и повышенного тона"

– Ха-ха-ха! – сказал Омордень. – Вы меня упустили! Я ушел, потому что я ушлый! Даже не ушлый, а убегушный! Уползушный! Ускакашный!

"Или кошмар свихнулся, – подумала Мари, – или я сплю".

Второй вариант показался девушке более реальным, и она проснулась в школьной спальне. Зеленый циферблат часов мигнул. 00:35. Курсантка прислушалась к себе. Ноги приятно гудели после вчерашней беготни, но на этом приятное заканчивалось.

После неудачной попытки изловить Омордня (или удачной попытки спасти Георга из лап Омордня) следствие зашло в тупик. Полицейские обыскали заброшенную избушку, облазили местность вокруг избушки и даже потыкали жердью в дно старицы. На этом гениальные идеи у Георга кончились.

– Знаешь что, – сказал старший инспектор, – пойдем-ка мы спать.

Мари хотела возразить о недопустимости сна в то время, когда злодейский кошмар продолжает строить черные планы, но молодой здоровый организм взял свое. Она посмотрела на заходящее солнце, протяжно зевнула и поплелась следом за инструктором в город.

Потому что никакого противодействия злодейским планам две сонные мухи в полицейской форме оказать не могли.

"Ускакашный Омордень правду сказал, хоть и во сне, – Мари села на кровати и уставилась в стену. – Мы его упустили. Он ушел… и куда пошел? Опять к какому-нибудь ребенку? И сейчас вылезает из шкафа в чьей-то детской?"

Курсантка посмотрела на шкафчик, перехваченный скотчем. Командирша Жанна с пониманием отнеслась к ежевечернему заклеиванию и всякий раз, когда заглядывала в шкаф, возвращала скотч на место. И не просто возвращала, а еще чертила на дверцах непонятные, но внушительные символы. У Жанны тоже хватало проблем со стажировкой в подразделении 11.

"Почему ужасы не приходят к взрослым? Взрослые в них не верят, не боятся, не видят. Да и кошмарам нет смысла приходить к тем, кто их не боится, а потому даже не замечает. Но я-то уже знаю, что ужасы есть. Ну, и где они?"

Мари достала из тумбочки ножницы, подошла к шкафу и аккуратно разрезала скотч вдоль створки. Потом вернулась на кровать и попробовала начать бояться – подрожать, покрыться мурашками или холодным потом. Ничего не получалось. Она даже взяла волосы в руки и пошевелила ими. На такую дешевку ни один кошмар не клюнул.

Тогда девушка представила вылезающего из шкафа Омордня.

Чудовище выламывается из шкафчика, разбрасывая щепки от дверей, надвигается, разрастается, его глаза-муравейники гипнотизируют Мари, пасть извергает ледяное крошево, длинные сморщенные руки хватают окоченевшее тело неудачливой охотницы за кошмарами и тащат в шкаф, сквозь шкаф, в темноту.

Жанна просыпается и удивленно смотрит на пустую кровать.

Мари больше нет…

В запертом шкафу зашуршало, как будто туда кто-то втискивался. "Теперь боюсь", – решила Мари, ощутив, что ее ногти впились в ладони, а волосы топорщатся без помощи рук. Она тихо-тихо встала и медленно потянула дверцу шкафа. На полке с фуражками сидело существо, похожее на огромную коричневую жабу с длинным гладким хвостом. Существо мерно сопело, прикрыв обвислые веки.

"Это она моим страхом питается", – поняла девушка. Жаба вздрогнула и выпучила глаза – яркие, оранжевые, с зелеными прожилками.

– Попалась, – сказала курсантка.

Коричневый кошмар с оранжевыми глазами съежился и пополз в темный угол полки.

– Ну, во-первых, я тебя вижу, – Мари щелкнула выключателем и открыла двери, шкафа пошире. Жаба остановилась. – А во-вторых, давай-ка побеседуем.

Она взяла жабовидный ужас за бока и пересадила на тумбочку. На ощупь существо оказалось гладким, даже скользким, но не холодным.

"Что дальше? Как там на семинаре учили? Допрос следует начинать с резкого неожиданного вопроса, сбивающего подозреваемого с толку. Лучше всего сразу представиться и потребовать документы. А документов у них никогда нет".

– Курсант Мари, – представилась Мари жабе. – Ваши документы!

– Мари! – раздался хриплый голос. – Второй час! Ты чего свет включила?

– Ой, Жанночка, извини. У меня гости. Сейчас погашу.

Командирша подняла всклокоченную голову с подушки и уставилась на гостя. Гость ответил таким же непонимающим взглядом.

– Гости на загляденье, – наконец пробурчала Жанна. – Кошмар какой-то. Ты, главное, потом шкафчик закрой. А то если придут мои гости, ты их на тумбочку не усадишь.

И зарылась в подушку.

– Я слушаю, – шепотом напомнила Мари, усаживаясь напротив жабы.

Та пару раз махнула хвостом и приглушенно квакнула:

– Драбарухая. Не гневись, красавка, попутала. Хатой ошиблась.

– А почему попутала? Почему ко мне пришла? Я ведь Омордня боялась, а не лягушек.

– Кого?! – коричневый ужас попятился. – Злыдня?!

– Что тебе известно об Омордне? – строго прошептала Мари, вспомнив, как ловко Георг прижимал кошмары к стенке и выбивал из них показания. – Отвечать быстро!

– Ничего не знаю! Может, Рассоробора знает. Или Вымра. Точно Вымра. А где Вымру найти, Обознайка знает. А Вымра точно что-то знает. Или знает того, кто знает…

"Это мы уже проходили, – подумала Мари, рассматривая деловито шлепающую губами жабу. – Вот вам и ловкий Георг".

– Думаешь, если правду скажешь, Омордень тебя съест?

Драбаруха замолкла и настороженно глянула на курсантку с видом "А скажешь, что нет? Что полиция его в тот же миг повяжет? Ну-ну".

– Правильно думаешь. Кококлокль знал, чуть нам не сказал, так Омордень его поймал и съел. И откуда пронюхал, непонятно. Так что с какой радости тебе признаваться? В желудке у Омордня всяко хуже, чем в полицейском мешке, верно?

Жаба ничего не ответила. Похоже, она не поверила в искренность курсантки.

– Ладно, проехали. Так почему ты ко мне пришла, хотя я не тебя боялась?

Драбаруха помедлила, будто прикидывая, грозит ли эта тема местью Омордня, а потом сказала:

– Ну так… страх, он страх и есть, бери и ешь. А кого люди боятся, это нам без разницы.

– Значит, если, к примеру, Омордень кого-то пугает, ты можешь подобраться поближе и поесть страха бесплатно?

– Как же, подберешься к нему. Он же… – жаба поспешно закрыла себе рот пупырчатыми лапками. – На что тебе этот злыдень, красавка?

– Он детей пугает. И людей ест. Ну да не будем об этом. Ты-то, наверное, голодной из-за меня осталась?

– Да не, – коричневая кожа Драбарухи вдруг порозовела. – Мы привычные.

– Я тебе аппетит перебила?

Розовый цвет резко сгустился, и через секунду на тумбочке сидела не коричневая, а медно-красная жаба. "Да она смутилась! – догадалась Мари. – Бедняжка".

– Слушай, Драбаруха, а страх – он какой на вкус?

– Если дите – сладкий, если старые – кислый или соленый. Твой сладкий был, я и подумала: дите боится чего…

– Постой-ка.

Девушка перегнулась через край кровати, пошарила внизу, вытащила сухой паек, оставшийся с зимних маневров, выковыряла из пакета плитку шоколада, отломила половину и протянула жабе. Та осторожно взяла лакомство, обнюхала, распахнула рот ("Вот так ротик! – восхитилась Мари. – Чемодан!"), схватила шоколад языком и забросила внутрь. Принялась жевать, сначала медленно, пробуя, а потом все энергичней.

– Вкусно?

Драбаруха кивнула.

– Теперь тебе не надо никого пугать?

Жаба засопела.

– Не, все равно надо, – призналась она. – То ж другое. То ж конфета, а то ж еда…

– Жаль.

Драбаруха перестала жевать и подозрительно уставилась на курсантку.

– Дай-ка я угадаю, – сказала Мари. – Ты думаешь, уж не хочу ли я за конфету купить сведения по Омордню. Да, мне нужно узнать про этого гада хоть что-то, но шоколад я тебе дала потому… потому что все равно выбрасывать, он тут уже полгода валяется.

Это объяснение жабовидный ужас полностью удовлетворило. По крайней мере, жабья морда расправилась и теперь выражала чувство полного жабьего удовлетворения.

– Не ловил он петуха, – вдруг квакнула Драбаруха. – Тот сам до него пришел.

– Зачем Кококлокль пришел к Омордню?

– Помогал петух ему. Вызнавал, где вкусно, малость стращал для начала, подпугивал, а потом злыдень приходил на готовое.

– А зачем это Кококлоклю?

– Подъедал за ним. От злыдня столько страха, что хватало и на петуха, и на…

– На кого-то еще? На Зубастого человека?

– Засиделась я у тебя, – сказала жаба. – Пойду.

Из загривка Драбарухи вылупились два полупрозрачных стрекозиных крыла. С громким стрекотом коричневая жаба поднялась над тумбочкой, подплыла к шкафу, подцепила дверцу хвостом и канула в темноту.

"Вот чудо природы, – подумала девушка. – Еще и летает. Так. Сосредоточимся. Значит, у нашего злыдня есть помощники. То есть пособники… Пособники-подсобники… Подъедатели… Подпугиватели… Очень интересно. Только спать очень хочется. Попробуем завтра что-нибудь с этим придумать. А что сегодня? А если какой-нибудь бедный ребенок сейчас страшно боится? – Мари вздохнула и завернулась в одеяло. – Придется с этим смириться. В конце концов, ну не съест же он его!"

"Ну не съест же Оно меня!" Алекс, мальчик лет восьми, лежит, укрывшись с головой одеялом. Ему жарко и все труднее дышать, но вылезать наружу нельзя. Алекс на прошлой неделе прочел рассказ Шекли и знает, что если спрятаться под одеялом, кошмар уйдет. Только, наверное, не сразу.

"Зачем, зачем я открывал глаза!? – в сотый раз думает мальчик. – Зачем я Его увидел? Если бы я Его не увидел, Оно бы не вылезло!" Алекс пытается не вспоминать, но снова и снова видит, как ужасно длинна ярука просовывается в приоткрытую дверь стенного шкафа. Тогда Алекс зажмурился и нырнул под одеяло, но – поздно. Оно его заметило. И теперь Оно в комнате. Ходит. Ждет.

Увесистый звук, как будто кто-то переставил тяжелую тумбу. Ближе. Еще ближе.

– Уходи-уходи-уходи-уходи-уходи! – быстро шепчет мальчик. – Это заклинание! Оно прогоняет! Уходи-уходи…

Одеяло медленно ползет в сторону. Мальчика пробирает озноб. Алекс вцепляется в одеяло и чувствует сильный рывок. Оно стягивает одеяло!

Мальчик кричит, так громко, что в его ушах звенит. Загорается свет, в комнату вбегают родители, обнимают его, тормошат, испуганно спрашивают, что случилось. Наконец Алекс открывает глаза. Оно ушло.

– Я больше не буду подсказывать, – говорит мальчик. -Я не буду подсказывать.

– Что? – не понимает мама. – Что подсказывать? Что с тобой, Алекс?

– Я никогда больше не буду подсказывать!

Во сне к Мари еще несколько раз приходил Омордень и дразнился – не страшно, но обидно. Просыпаться девушке было лень, поэтому она представила еще одного Омордня. А пока кошмары мерялись зубами и разбирались, кто лучше ушел от полиции, быстренько перевернулась на другой бок и дальше смотрела интересный сон про принца на белом коне. Красивый и загадочный, он неизменно брал первые призы на скачках. В смысле, красивый и загадочный был принц, а призы брал конь. Хотя принц тоже брал призы, он же на коне скакал. Впрочем, конь тоже был красивый и загадочный, по крайней мере глазом он косил как-то уж очень хитро…

Жанна насилу ее растолкала.

– Слышь, подруга, – сказала она, – завтракать ты не будешь.

Почему-то этот вопрос она задала с утвердительной интонацией. Мари, не поднимая головы, открыла верхний глаз и посмотрела на часы.

– Вот именно, – отозвалась Жанна, – обед на дворе. Или ты теперь по ночам живешь и завтракать будешь ужином?

Мари открыла нижний глаз. Командирша гладила парадную форму. В будний день.

– А ты куда собралась?

– На Пост № 1. Добровольцем.

Мари села, от удивления сменив верхний и нижний глаза на правый и левый. Первый и единственный пост ВШП располагался у Боевого Древка Школы. Раньше в комплект Поста № 1 входило и Боевое Знамя, но в ходе учебных боев с училищем пограничников оно пришло в негодность и с тех пор реставрировалось. Стоять у Древка считалось самой почетной, самой ответственной и самой бессмысленной из обязанностей в Школе.

– Ты хочешь стоять у Древка?!

– Нет. Но крутить педали я хочу еще меньше, – загадочно ответила Жанна, надела парадный мундир и ушла.

В столовой Мари взяла салат из кабачковой икры и апельсиновый сок. Сочетание коричневого с оранжевым напомнило о ночной гостье.

"Что-то Драбаруха важное сказала, – думала курсантка, пережевывая кабачковую биомассу. – Про вкус страха? Про то, что конфета не еда? А, вот! Про подъедателей! То есть сообщников…"

Додумать она не успела: над плечом нарисовался нос лейтенанта О., а затем и сам отрядный командир.

– Ты опять в столовой? – спросил он с неизбывной тоской. – Как я ни приду в столовую, ты опять здесь? Ты опять дневник практики не ведешь?

В последнем вопросе прозвучало столько надежды, что Мари не могла ее обмануть.

– Так точно, не веду! Господин лейтенант, а кого лучше ловить: главаря или сразу сообщников?

– Лучше всего, – вздохнул О., – ловить рыбу. Свежую. Ароматную. Где-нибудь на берегу пруда. В тенечке. Или на солнышке…

– Это то, что вам лучше, – заторопилась курсантка, стараясь не дать командиру впасть в мечтательность. – А мне что делать?

– Дневник практики заполнять. Своевременно принимать пищу. Не опаздывать к руководителю производственной практики. Жить яркой, полноценной жизнью.

"Как же он на Георга похож, – подумала Мари. – Если Георгу скинуть лет пятнадцать да отобрать любимую работу – вылитый лейтенант О. получится. Может, они родственники? Сын вряд ли, по возрасту не выходит… Может, племянник?"

– Господин лейтенант, разрешите личный вопрос?

– Не женат, – сказал О., и нос его печально заострился. – И что это меняет?

Тут лейтенант был не прав. Кое-что изменилось. Оттенку, который приобрела кожа Мари, позавидовала бы сильно смущенная Драбаруха.

– Нет, – с трудом произнесла девушка, – я про другое хотела спросить…

– Так я и думал, – подвел итог О. и ушел, ведомый поникшим носом.

Мари посмотрелась в вишневый компот, залпом допила его и отправилась к руководителю производственной практики.

Но руководителя практики в офисе не оказалось. Еще на подходе к домику Георга Мари почуяла неладное: в дворовом хламе кто-то проделал дорожку. Не протоптал – как протопчешь ржавые батареи или, скажем, пластиковое ведро? – а аккуратно расчистил. Возможно, даже лопатой.

Внутри сидел незнакомый полицейский с тщательно выскобленной физиономией и замотанным горлом. На полицейском был мундир Георга. Вернее, точно такой же, только вычищенный. Перед незнакомцем на непривычно пустом столе ровной шеренгой лежали красная карточка с описанием Омордня и пять пирожков.

"Экий аккуратист! – подумала девушка. – Наверное, он и дорожку прокопал. И мундир Георгу постирал. И усы ему сбрил…"

– Ой, шеф! – обрадовалась Мари. – Это вы?

– Ну что ты, – хрипло отозвался безусый и выстиранный Георг. – Как ты могла подумать. Это Бэтмен.

– Спасибо! А как вы догадались, что мне не нравятся ваши усы?

Полицейский счел за лучшее закашляться.

– Вообще-то, – сказал он, стараясь не смотреть на курсантку, – мне усы и самому не нравились. Просто раньше я думал, что они удачу приносят.

"Ой!" – мысленно выругалась Мари.

– Но вчера, – продолжил Георг, – усы себя дискредитировали.

"Спокойно, – думала Мари, быстро-быстро сжимая и разжимая кулаки. Это не помогало, кровь продолжала активно поступать к щекам. – Все нормально. Все логично. Раньше усы дискредитировали Георга, а вчера дискредитировали себя. То есть усы свою задачу выполнили. Поэтому их сбрили, а не потому, что тебе… Немедленно прекрати краснеть!"

Инспектор прочистил горло и добавил:

– Так что усы я сбрил не для тебя.

Кровь в лицевых капиллярах Мари загудела, как нефть в магистральном нефтепроводе.

– Для тебя я дорожку расчистил. А то ходишь тут на каблуках.

Георг и Мари хором посмотрели на форменные сапоги курсантки, шеф сконфузился окончательно, схватил один из пирожков и сунул в рот.

– Буешь пиёшки? – прожевал он. – С капуштой.

– Спасибо, я завтракала, – прозаический вид начальника, поедающего пирожки, успокоил девушку. – А почему он вас не съел?

Георг поперхнулся и посмотрел на остаток пирожка.

– Потому что он пирожок. У него зубов нет.

– Я про Омордня. Зачем он вас куда-то тащил, если проще было сразу проглотить?

Инструктор отложил недоеденный пирожок и с тоской посмотрел на остальные. Потом завернул несостоявшийся завтрак в протокол и сунул в холодильник.

– Меня другой вопрос беспокоит, – сказал он. – Почему Омордень тебя, такую любопытную, не съел?

– И почему?

Георг пожал вычищенными погонами.

– А вас почему не стал?

– А я почем знаю? Может, я невкусный.

Попытка отшутиться не удалась.

– Но я-то вкусная… то есть наверняка не хуже тех шестерых полицейских, которых он проглотил. А он ведь меня даже не попробовал! И куда он собирался вас тащить?

– В свое логово! – зловеще произнес инструктор.

"Шутит? – подумала Мари. – Нет, издевается. Ах, так…"

– Так мы же как раз его логово искали, шеф! – воскликнула она. – Надо было, чтобы он вас утащил, тогда мы бы сразу его логово и вычислили!

– Хватит ерундой заниматься! – как мог, грозно прокашлял Георг. – Давай думать, как Омордня ловить будем!

– А я уже придумала! То есть не придумала, а узнала от одной жабы…

Лицо Георга приняло брезгливо-скептическое выражение. Однако по мере рассказа о ночном визите Драбарухи выражение постепенно изменялось. К финалу Мари уже не могла понять, что именно выражает лицо.

– Таким образом, – завершила она доклад, – есть все основания полагать, что мы имеем дело не с одиночкой, а с организованной группой кошмаров.

Георг не ответил, но его лицо стало еще более загадочным. Воцарилось неудобное молчание.

– У меня все, – на всякий случай добавила Мари.

Бритая физиономия шефа исказилась до неузнаваемости и даже немного больше. Он молча поднял указательный палец… и оглушительно чихнул. После этого гримаса брезгливого скепсиса вернулась на лицо Георга.

– Да глупости все это. Россказни. Не принято у ужасов сбиваться в банды.

– Но ведь в первую ночь был Зубастый человек! – воскликнула девушка. – А следом пришел Омордень. Значит, Зубастый – наводчик!

– Ну-уу…

Мари ткнула пальцем в красную карточку:

– "Омордень. Часто приходит к жертвам, предварительно напуганным другими кошмарами", – зачитала она.

Георг чихнул дважды.

– Раз вы поддержали мою версию, – обрадовалась девушка, – то пойдемте его арестуем!

– Отличная идея, – сказал инспектор и вытащил носовой платок. – А куда ити?

– Разве вы не знаете?

– Де заю.

– А кто знает?

– Де заю.

Мари решила расширить круг вопросов:

– А кто знает того, кто знает?

– Да откуда я заю, кто зает того, кто…

Шеф снова замер с непонятным выражением на лице. Мари приготовилась встретить еще один оглушительный чих, но Георг, наоборот, убрал платок от носа и сказал почти не хрипло:

– А ведь есть один "кто знает того, кто". С кошмарами, как и ты… чуть ли… не целуется… а-а-апчхи!

– А у этого того, кто знает того, кто… в общем, у него есть нужная информация?

– Информация, может, и есть. А вот мозгов точно нет. Зря я о нем вспомнил. Ладно, пойдем. Может, развеселюсь.

На частично расчищенном дворе девушка вспомнила о фрагментах неожиданной аккуратности в офисе шефа и на нем самом.

– А все-таки, – спросила она, – чего это вы вдруг?

– Ничего, – отозвался Георг, – пройдет. А-а-а-пчхи!

"Я же хотела про лейтенанта О. узнать, – вспомнила Мари. – Он ему сын, племянник или все это мои девичьи фантазии?"

– Шеф, разрешите личный вопрос?

– Разведен, – сказал Георг. – Но, наверное, ты не об этом хотела спросить.

"Точно родственники!" – решила девушка.

Глава 10
Все ужасы мира

За хороший экспонат иногда и жизни не жалко.

Синяя Борода. "Последнее слово коллекционера"

Эксперт – признанный знаток в области, в которой никто не разбирается.

"Карманный словарь эксперта по карманным словарям"

Хозяин квартиры мог похвастаться большими выразительными глазами – результатом удачного сочетания тяжелых толстых очков и охватившего его радостного изумления. Но хвастаться не стал, поскольку, увидев Мари с Георгом, потерял дар речи. Зато обрел дар мимики и жеста. Очкастый дедушка прижал руки к сердцу, потом оторвал их от груди чуть ли не с пуговицами и затряс над головой, а в заключение сделал порывистую – хотя и незаконченную – попытку обнять Мари. Курсантка на всякий случай отклонилась назад, человек в очках еще немного помахал руками для устойчивости и наконец поздоровался:

– Ты все-таки согласился?! Это мне?!

– Это не то, что вы думаете, – хмуро ответил Георг. – И ты тоже не красней. Это не то, что ты думаешь.

Хозяин перестал жестикулировать и засопел, как ребенок, который узнал, что вместо MacDonald's будет борщ.

– Почему? Георг, почему вы такой жадный? Я же создам этому созданию все условия…

– Лео, да вы очки протрите! – рассердился полицейский. – И посмотрите на "это создание"!

Так Мари узнала, что "ненормального собирателя всякой дряни, которого самого нужно поместить в коллекцию психиатрической больницы" (формулировка Георга) зовут Лео. "Хорошее имя, – подумала она, – нашего кота так звали".

Лео снял очки, отчего его глаза превратились в ярко-голубые горошины, и внимательно оглядел девушку.

– Но это же… человек?

– А вы думали, кто? Загрызлый Шморь?

– Загрызлый Шморь?! Ты принес мне Загрызлого Шморя?! Уникальный экземпляр?!

Лео бросился к Георгу и принялся охлопывать его карманы.

– С чего вы взяли, что я вам принесу Шморя?! – заорал старший инспектор, отмахиваясь от безумного старикашки. – Я вам когда-нибудь кого-нибудь приносил?

– Но ведь мог, признайте! Каждый раз мог! Я же тебя каждый раз прошу, чтобы вы что-нибудь принесли!

– А я вам каждый раз отказываю!

– Но ты же мог на этот раз передумать!

– Да с какой стати мне передумывать?!

– Люди все время что-нибудь передумывают, так почему бы и тебе…

Мари огляделась. Прихожая походила не на прихожую, а… девушка не смогла подобрать нужного слова. Поэтому подобрала два: "выставка шкафов".

На выставке были представлены шкафы разнообразных форм и размеров: стенные, одежные, шкафчики из детского сада, тумбочки, полочки для обуви, буфеты…

"Он держит ужасы в шкафах? – удивилась Мари. – Хотя, с другой стороны, надо же их где-то держать. Они ведь все-таки опасные…"

С этой мыслью курсантка приоткрыла ближайшую тумбочку и заглянула в нее одним глазком. Потом вторым. Потом полезла руками. И вытащила увесистую пачку газетных вырезок.

Пресса оказалась сплошь желтая, в том числе от времени. Мари пробежала глазами по заголовкам. Этого оказалось вполне достаточно, если учесть манеру бульварных газетчиков впихивать в название статьи ее краткое содержание.

"Смертельная галантерея! Черная перчатка выходит на большую дорогу!"

"Летний лагерь терроризируют кошмары! Зеленый Ужас из шкафчиков – глупая шутка или происки высшего разума?"

"Безумная ночь длинных иголок в психиатрической клинике! Персонал в панике госпитализирован!"

Но попадались и оригинальные названия, заставляющие читателя задуматься. Например: "А оно как выпрыгнет!", "Довызывались, голубчики?" и даже "Что!".

Последний заголовок заинтересовал Мари. Она несколько раз попыталась произнести слово "Что" без вопросительной интонации, потерпела неудачу и начала читать статью. Автор остроумно высмеивал вспышку телефонной паранойи, которая произошла после показа фильма "Звонок". Он убедительно доказывал, что все это чушь, и брался просидеть целую ночь перед японским телевизором, принимая любые звонки. Впечатление от яркого, живого фельетона несколько портила траурная рамка вокруг фамилии автора. Присмотревшись, Мари поняла, что рамка пририсована от руки.

"То-то у Георга телефона нет, – подумала она, – ни мобильного, ни в офисе".

Курсантка посмотрела на шефа – и вовремя. Георг, забывшись в пылу дискуссии, решительно сунул руку в кобуру.

– Вы что-то принесли мне в кобуре?! – возликовал Лео. – Это Карманодыр? Жеватель Подкладочный! Что там, выкладывай, не томи!

Мари поняла, что пришло время вмешаться:

– Высшая школа полиции, курсант Мари, прохожу стажировку в подразделении 11, – отрапортовала она. – Лео, а почему вы Георга то на вы, то на ты называете? Так ведь и запутаться можно.

Старичок перестал терзать кобуру старшего инспектора и задумался.

– Пожалуй, правильней будет говорить "ты". Мне же Георг в сыновья годится.

Полицейского перспектива усыновления не обрадовала.

– Нет, спасибо, идите к черту! – вежливо отказался он. – Я, может, и гожусь в сыновья, но вы в мои отцы – никогда!

– И зря, – сказал Лео. – Вот курсант Мари наверняка не обидится, если я скажу, что она мне во внучки годится.

– Не обижусь, – немного поразмыслив, согласилась девушка.

Хотя, честно говоря, она не могла взять в толк, для чего Лео пытается привить к своему генеалогическому древу столько инородных веток.

– Вот! – обрадовался Лео. – Видишь, Георг? А ведь она про меня еще ничего не знает…

– Ну почему же, шеф… долго о вас рассказывал, – почти не соврала потенциальная внучка безумного старца.

На лице шефа появилось выражение, которое обычно предшествует плевку.

– Георг! Ты начал ругаться в присутствии детей? А я предупреждал, что твой образ жизни…

– Извините, – не выдержала Мари, – но я была бы признательна, если бы вы были любезны нас выслушать…

Лео всплеснул руками, изобразив одиночный аплодисмент.

– Вежлива, учтива, красива! Бери пример, Георг! Но ты же меня никогда…

– Извините, – Мари решила проявить настойчивость, – но я…

– Да-да, я помню. Ты была бы признательна, но только при условии, что я буду любезен. Что ж, буду любезен. Вы, дитя мое, находитесь в самой полной, самой систематизированной… да чего там – самой единственной коллекции кошмаров!

Самопровозглашенный дедушка сделал торжественную паузу. Мари знала, что из вежливости должна упасть в обморок или хотя бы побледнеть, но лишь отметила про себя, что ее повысили из внучек в дочки.

– Давайте-давайте! – сказал Георг. – Пугайте. Мы с ней уже на Омордня ходили.

Лео разом растерял всю торжественность.

– Взяли?

– Ушел. Поэтому мы и пришли. Нужна информация…

– Можем договориться, – быстро сказал Лео и подмигнул.

Это стало последней каплей. Но даже окончательно выйдя из себя, Георг перешел с "вы" не на "ты" и даже не на "ты, старый маразматик", а на "он".

– Нет, он меня все-таки доведет до смертоубийства! Причем с превышением полномочий! Людям угрожает опасность! Полиция с ног сбилась в поисках преступного субъекта, а он – "договориться"! А просто так помочь людям и полиции, значит, уже нельзя?! А?! Я тебя спрашиваю – а?!

Последний вопрос полицейский адресовал почему-то Мари.

– Так точно! – быстро и четко, по уставу среагировала она.

Георг озадаченно замолчал.

– Лео имеет право!

Теперь озадачился Лео. Мари почувствовала себя человеком, который учит плавать, сталкивая людей с моста.

– Полиции нужна информация об ужасах, а Лео хочет за это новых ужасов. И правильно – чем больше ужасов будет в его коллекции, тем больше информации он сможет сообщить полиции.

– Еще и умна! – воскликнул Лео. – Нет, определенно полиция начинает меняться к лучшему! Согласитесь, Георг. По крайней мере согласись, что спорить со мной глупо.

Полицейский неопределенно двинул плечом и сказал:

– Черт с вами, пойдем договариваться.

И направился на кухню.

– А вы, Мари, пока полюбуйтесь экспозицией, – сказал Лео, кивнул на дверь в комнату и засеменил за Георгом.

Девушка толкнула дверь и наткнулась на жадный взгляд огромных зеленых глаз. Напротив входа висел большой, светящийся по решетчатой границе шар, из темных глубин которого на Мари пялилось совершенно невообразимое страшилище.

Курсантка вздрогнула. Страшилище смачно облизнулось и подалось вперед, чуть не ткнувшись разлапистым носом в световую решетку.

И тут же зашевелилось вокруг. Десятки светящихся шаров, кубов, призм, пирамид, гирлянд заколыхались, и со всех сторон к Мари потянулись оскалы и ухмылки. Мари почувствовала себя Снегурочкой, попавшей на елку. Точнее – в елку.

– Ух! – сказала она и перевела дух. – Умеете вы, ребята, произвести впечатление. Мне сказали вами полюбоваться, так что держите спинку прямо.

Оскалы и ухмылки потускнели, но полностью не пропали. Мари обошла первый шар и двинулась вдоль стены, продолжая любоваться экспозицией. Или экспозиция продолжила любоваться ею, тут с какой стороны посмотреть.

Заполняющие большой полутемный зал световые клетки казались хлипкими до ужаса. Но ужасы, заключенные внутри, так не считали, стараясь держаться подальше от светящихся прутьев и одновременно поближе к Мари. Удавалась эта старательная эквилибристика не очень.

"Прутья под напряжением?" – предположила Мари, потрогала ближайшую клетку в форме фонарика и поняла, что нет, не под напряжением. Обитатель фонарика качнулся и раззявил широкие жвала.

– Ой! – сказала Мари, и ужас приободрился. – У тебя же все горло красное! Попроси, чтобы тебя немедленно перевесили со сквозняка.

Простуженный кошмар сник и спрятался в центральную, темную часть фонарика, куда не доставал слабый свет прутьев.

"Ага, понятно. Клетки сделаны из световодов. Граница освещена, и через нее ужасы сбежать не могут. А внутрь световоды не светят, поэтому там темно". Девушка повернулась к соседней цилиндрической клетке. Сначала она смогла рассмотреть только глаза. Присмотревшись, она увидела глаза. Мари старательно протерла глаза (свои), но по-прежнему видела в клетке только глаза (непонятно чьи).

Мари подумала и подмигнула. Глаза в темноте округлились от удивления. Мари поморгала еще немного, но непонятный ужас только таращился, не подавая никаких признаков тела. "Наверно, невидимка с глазами", – решила девушка и отправилась к самой крупной клетке самой сложной формы.

Внутри обитало похожее на богомола существо без глаз и рта. Верхние длинные суставчатые конечности кошмара ощупывали пространство над ним, нижние – шваркали по полу. С довольно неприятным звуком.

– Ку-ку! – сказала Мари.

"Богомол" перестал копошиться и навел лапы на курсантку. Будто посмотрел. Лапы заканчивались причудливыми тонкими пальчиками.

– Хо? – скрипнул он.

– Как тебя зовут, красавчик?

– Лифтогрыз Оригинальный! – раздалось сзади. – Правда, он прелесть?

Девушка оглянулась и убедилась, что переговоры состоялись, причем с наилучшим для коллекционера результатом. Лео в дверном проеме сиял, как начищенный медный таз, а Георг выглядел тускло, как предмет, которым этот таз начистили.

– Он грызет лифты?

– Нет, что вы! Лифты грызет Лифтогрыз Банальный, точнее, Банальный грызет тросы, а потом падает вниз вместе с лифтом, согласитесь, банально, таких я в коллекции не держу. А Лифтогрыз Оригинальный приводит в негодность электропроводку, лифт застревает, Лифтогрыз обхватывает лифт и виртуозно скребет задними конечностями по противоположным стенкам. Представляете, что чувствуют пассажиры?!

Лифтогрыз Оригинальный продемонстрировал работу задних конечностей. Мари представила чувства пассажиров и почувствовала, что очень им сочувствует.

– А вы уже видели Глаза в Темноте? Уникальный экземпляр! Они могут рассредоточиваться на много метров, создавая иллюзию огромного чудовища! По глазам вижу, что видели… А еще у меня есть уникальные Шаги в Тишине! Ну-ка, навострите ушки!

Курсантка навострила ушки и действительно услышала размеренные шаги, перешедшие в протяжный зевок. Лео недовольно зыркнул на Георга, который со скучающим видом расхаживал среди клеток и брезгливо зевал на экспонаты. Заметив взгляд коллекционера, полицейский достал платок и громко высморкался.

– Нет, тишины мы сегодня не дождемся… Ну это не беда, ведь вы, деточка, находитесь в уникальной коллекции. Здесь собраны все ужасы мира! – Старичок запнулся и в порыве честности добавил: – Почти все. Уникальный Паркетный Полоскрип недавно сдох… И уникальный Бамбуковый Постукиватель…

– А чем вы их кормите? – спросила Мари. – Кто их тут боится?

– Отличный вопрос! – сказал Георг. – Чем вы этих тварей кормите? Заманиваете детишек из соседнего садика?

– Детишек? – Лео задумался. – Что ж, в твоем предложении есть резон…

Георг в изумлении приоткрыл рот. Его подчиненная положила руку на наручники.

– Свежий детский страх… Качественный калорийный продукт… – коллекционер пошевелил губами, что-то прикидывая, после чего, к немалому облегчению Мари, решительно произнес: – Нет! Потому что, во-вторых, это, пожалуй, не очень гуманно по отношению к детям.

Георг тихо закрыл рот и отвернулся, безмолвно признавая, что сам виноват – нарушил золотое правило: не шутить чересчур тонко. Особенно в присутствии увлеченных людей, которые слишком часто принимают шутки за руководство к действию.

– А во-первых? – спросила курсантка.

– А во-первых, у меня будут проблемы с полицией, это же очевидно.

"А негуманное обращение с детьми, выходит, причина не очевидная", – хмыкнула Мари.

– Так все-таки, чьими страхами они у вас кормятся?

– За стеной стоматологический кабинет, – начал перечислять Лео, – в приемные часы оттуда идет неплохой поток; неподалеку кинотеатр, когда там крутят ужастики или фильмы с Беном Афлеком, кое-что сюда докатывается; этажом ниже живут на нетрудовые доходы, регулярно боятся прихода налоговой инспекции. Ну и по мелочам время от времени перепадает, – коллекционер ласково улыбнулся. – Вот вы сюда зашли и сразу легкий завтрак моим ребяткам обеспечили.

– Тех нескольких секунд, пока я боялась, им хватило на завтрак? – удивилась Мари.

– Какие несколько секунд? Георг их уже десять минут побаивается.

Инструктор фыркнул.

– Я? Побаиваюсь? Твоих уродцев? Даже не надейся!

– И правильно, – охотно согласился Лео. – Не надо их бояться. Не бойтесь! Здесь вам не причинят никакого вреда.

– Никакого вреда? – кротко переспросил Георг.

– Здесь вам не причинят никакого вреда, – кивнул коллекционер. – Нет в мире существ безобидней кошмаров. Разве только тараканы…

– Нет безобидней?! – старший инспектор закатал рукав, но бить старичка не стал, а лишь сунул тому под нос кулак, показав широкий белый шрам на предплечье. – Вот что мне оставил на память один из ваших безобидных! Хорошо хоть руку оставил…

– Кто? – деловито спросил коллекционер, осматривая шрам. – Когда?

– Омордень! Десять лет назад.

– Ах да, Омордень… – Лео снял очки и тщательно протер их о пиджак. – Хладноротый… Ну конечно же, ведь цель вашего визита – информация.

– Какая догадливость, – мрачно сказал Георг. – Да, нам нужна информация, А для этого нужно, чтобы ты замолчал и начал говорить по делу.

Коллекционера не смутило, что от него требуют одновременного молчания и разговора. Он аккуратно установил очки на нос и спросил:

– Так-с, что нового вам удалось выяснить об Омордне?

Георг сухо, по-казенному, перечислил все попытки отловить нахальный кошмар, начиная со смертоносной эпопеи десятилетней давности.

– Не раскусывал полицейских, а глотал целиком? – обрадовался старичок. – Это многое объясняет!

Когда Георг иссяк, коллекционер еще немного поразмышлял, улыбнулся чему-то своему и спросил:

– А почему он вас не съел?

Мари стало даже немного стыдно за то, что своим непопаданием в желудок Омордня она нарушила заведенный порядок. Георг не разделил чувства подчиненной.

– Это вы у нас спрашиваете?! – прошипел он. – Вы – у нас? Вы, эксперт, спрашиваете у нас, которые…

– Все-все-все, вы правы, правы, правы! – замахал руками старичок. – Мне просто было любопытно, что вы сами об этом думаете… Все-все! На вопросы здесь отвечаю я. Спрашивайте.

– Почему он нас не съел? – спросила Мари.

– С Георгом все тривиально.

– В смысле? – опешил полицейский.

– Прививка.

– То есть?

– Омордень тебя укусил, теперь он не может тебя проглотить.

– Не понял.

Лео начал терять терпение.

– Слушайте, мне что, читать вам лекцию о принципах действия прививок? Часть Омордня попала в тебя, а кому понравится кусать собственную часть?

Георгу это точно не понравилось. Мари бросилась к инструктору и прислонила ослабевшее тело шефа к клетке с Лифтогрызом.

– Хо, – сказал кошмар и покачал отвертками-пассатижами.

– Так я что… – проговорил полицейский, – отчасти… Омордень?

– Ну да, и что? И прекратите делать такие глаза, они уже есть в моей коллекции! Тоже мне, открытие. Все мы отчасти кто-то еще, одних комаров из человека можно налепить штук сто. А вот у Мари случай поинтересней. Тут надо пять секунд подумать.

Думал старичок действительно ровно пять секунд.

– Все ясно. Омордень – не такой, как другие кошмары…

– А почему? – спросила Мари.

– Да потому, что он десять лет лежит в спячке. Потом выходит на пару недель – и снова в спячку. Понимаете, что это значит?

– Это значит, что ему за пару недель нужно наесться на десять лет.

– Умница! Красавица! Правильно, Именно поэтому он так прожорлив, так неистов, так беспощаден, так целеустремлен! И какую реакцию вызовет у такого экспоната стреляющий в него полицейский? Кстати, стрелять пулями в Омордня – все равно что в подушку: пыли много, толку мало. А Мари действовала нестандартно. Нестандартно! Георг, вам понятно, что значит "нестандартно"?

– А? – сказал Георг, который слегка очухался, но еще не настолько, чтобы воспринимать что-либо нестандартное.

– Все с тобой понятно, – вздохнул Лео. – Мари, слушай ты. Ты удивила Омордня, сбила его с толку. Он не понял, кто перед ним – полицейский или ребенок, агрессор или жертва, поэтому не смог решить, что делать – глотать тебя или пугать. А разбираться ему было некогда.

– Некогда! – услышав ключевое слово, Георг полностью пришел в себя. – Нам некогда выслушивать все ваши теории! Как нам его найти?

– Шеф, ну мы же уже решили как! – удивилась Мари. – Надо найти Зубастого человека, он нам все и расскажет. Лео, что вы знаете о Зубастом Человеке?

– Ничего, – сказал Лео.

– О, – сказала Мари.

Все помолчали.

– Так я продолжу? – поинтересовался Георг. – Вы не против? Спасибо. Как нам найти Омордня?

– Не знаю, – сказал Лео.

– Как его остановить?

– Не знаю. То есть, что это я?! Знаю! Никак. Он не остановится. Я же объяснил. Он видит цель и прет на нее как танк. Разве что выкопать перед целью яму и прикрыть ее соломой.

– Яму? – полицейский наморщил лоб. – Перед целью? Перед ребенком, которого он собрался пугать?

– Ребенок для Омордня – не цель, – укоризненно сказал коллекционер. – Ребенок – источник страха, а значит, пищи, на ребенка он не прет, а ходит вокруг и пугает. Вот если вы заранее узнаете, к кому придет Омордень, то положите в кровать вместо ребенка полицейского. Полицейский при появлении Омордня начнет пальбу, у Омордня появится цель, для достижения которой он ни перед чем не остановится. Вот тогда… Хотя и тогда вряд ли…

– А как нам заранее узнать, к кому он придет?

– Не представляю, как вы сможете это узнать, – развел руками Лео.

– Подведем итог, – ровным голосом произнес Георг, и Мари поняла, что подводить особо нечего. – Омордня…

– Не найти, не выследить, не остановить! – воодушевлено подхватил коллекционер. – Это чудо-монстр! Да за такой экспонат я бы, не задумываясь, отдал руку… ногу… ухо… нос… почку… зачем мне две почки?

– Отдайте лучше мозги, они вам точно ни к чему! – вскипел инструктор. – Два часа нам голову морочили! Никакой информации у вас нет. Мы пришли сюда зря.

– Почему зря? – удивился Лео. – Я узнал столько нового!

Объект **№ 4**

ГЛАЗА В ТЕМНОТЕ

Вид: **взиратель.**

Неподвижные, за исключением случаев, когда двигаются стремительно и непредсказуемо. По ночам заглядывают в окна. Наряду с Шагами в Тишине (№ 7) один из древнейших кошмаров, доживших до нашего времени.

Ареал преимущественного обитания (место лежки): **пещеры, густые лиственные леса, подъезды с выкрученными лампочками.**

Способ нейтрализации: **медитация.**

Количество поимок: **1**

Утеряно хозяйственной утвари при швырянии в объект: 913 883.

Объект **№ 12664**

ЛИФТОГРЫЗ ОРИГИНАЛЬНЫЙ

Вид: **скребец.**

Малоподвижен как целое, но очень подвижен конечностями. Виртуозно портит электропроводку. Предпочитает охотиться на группы из двух-трех человек в лифте, которые взаимным страхом доводят друг друга до резонансного ужаса.

Ареал преимущественного обитания (место лежки): **шахты лифтов.**

Способ нейтрализации: **ходьба пешком по лестницам (кстати, последнее полезно во всех смыслах).**

Количество поимок: **30**

Возможно, произошел от Лифтогрыза Банального в результате поражения электрическим током.

Глава 11
Поглядывающий

Не бывает двух одинаковых людей. Не бывает даже одного одинакового человека.

Из "Итогов Всероссийской переписи населения 2002 года"

Ко всякой твари нужен особый подход. Даже к гимнастическому коню.

"Психология предметов"

– Не расстраивайтесь, шеф, – сказала Мари. – Мы тоже кое-что узнали.

– Ну да, – согласился Георг. – Мы узнали, что Омордня надо удивить. Чем же мне его в следующий раз удивить? Ты для него уже пела, может, мне для него сплясать? Точно, спляшу. Вот он удивится. Идет такой Омордень, ничего не подозревает, а тут я! Из засады как выскочу, как начну коленца выкидывать, тут ему и кранты!

И Георг изобразил, как он начнет выкидывать коленца. Остановился, только когда ударился одним из коленцев о клетку с Глазами в Темноте. Мари и Лео переглянулись и покачали головами.

– Не стоит, шеф, – выразила общее мнение девушка. – Так Омордень совсем озвереет.

– И пусть! Озвереет, голову потеряет, без головы мы его сразу повяжем. Мне-то он ничего не сделает, у меня же прививка.

– Ну почему ничего не сделает? – воскликнул коллекционер. – Он тебя только проглотить не может, а разорвать пополам – запросто! У Омордня масса достоинств! Крепкие челюсти, развитая

мускулатура, мощные ноги, цепкие руки… А что он может делать своим замечательным языком, вы себе не представляете!

Лео мечтательно закатил глаза.

– Пошли отсюда, – сказал Георг. – Хватит.

– Как хватит? – испугался старичок и засеменил за полицейскими. – Вы же еще не посмотрели остальные экспонаты! Мари, ты еще учишься? Значит, тебе обязательно нужно познакомиться с Провалом Экзаменационным! У него очаровательные хвосты. А еще полный набор Накожных Мурашек, и Клаустродок, и Агарозавр, и Стригущий Репей… Остановитесь!

Георг беззвучно выругался и взялся за ручку входной двери.

– Эх, гори оно все огнем! – воскликнул ненормальный собиратель всякой дряни. – Покажу! Уже два года никому не показывал, а вам покажу! У меня есть… – он понизил голос, – Зубастый человек.

Георг повернул ручку двери, приоткрыл ее, подумал и снова закрыл. Мари решила выразить удивление начальства:

– Как Зубастый человек? Вы же говорили, что ничего о нем не знаете!

Лео подергал себя за очки.

– Ну… Зубастый человек… он такой малоизученный… мы так мало его знаем…

– То есть ты мне соврал, – провозгласил Георг. – Несмотря на нашу договоренность. Отлично! Теперь я тоже могу один раз нарушить договоренность.

Лео снял очки и принялся стучать дужкой о дужку.

– Можете нарушить дважды, – сказала Мари. – Лео нас два раза обманул.

– Только не надо врать! – огрызнулся коллекционер. – Один! Зубастый человек у меня один. Он вообще существует в единственном экземпляре.

– Вы утверждали, – сказала курсантка, – что он у вас уже два года, а я его видела пять дней назад.

Лео водворил очки на нос.

– Определенно, общение с тобой, Георг, пагубно влияет на юные неокрепшие умы. Я ведь уже сказал – Зубастый человек сидит в моей коллекции. Ты видела кого-то другого, внученька.

– У него было много зубов.

– И что? У акулы тоже много зубов.

– Минутку, – сказал Георг голосом, на три четверти состоящим из бдительности. – Лео, вы уверены, что Зубастый человек еще у вас? Он ведь мог сбежать.

Лео повернулся и молча направился по коридору, на ходу доставая связку ключей.

Коридор закончился дверью, за которой находился еще один коридор – короткий, с тремя дверьми. Каждая освещалась яркой лампой и была забрана световыми прутьями.

Коллекционер остановился у последней двери, порылся в связке, нашел нужный ключ. Заскрежетал замок ("Четыре оборота", – отметила курсантка).

Комната за дверью оказалась маленькой, метра три на четыре. Треть комнаты занимал аквариум на всю стену. Стекло аквариума пронизывали тонкие светящиеся нити.

Лео постучал по стеклу. Из темноты раздался звонкий щелчок, и к стеклу прильнуло полсотни внимательных зубов. Все прочее – губы, нос, глаза, лоб – тоже прильнуло, но поблизости от торчащих напоказ клыков и резцов прочее как-то терялось.

Да, это был натуральный, стопроцентный, несомненный Зубастый человек. Такого разнообразия зубов Мари не видела никогда, и собиралась и впредь никогда такого не видеть. Тонкие, плоские, острые, длинные, массивные, тупые, ни одного повторения по цвету или форме. Девушка разглядела клык-ятаган, зуб, похожий на тюбик зубной пасты, резец в форме совковой лопаты, а один из зубов мудрости в точности повторял контуры Фудзиямы.

– Тот был другой, – сказала она. – У того все зубы одинаковые и торчали вкривь и вкось в несколько рядов до самой глотки. И глаз у него не было.

Кошмар за стеклом ревниво перещелкнул зубами. Мари показалось, что он выбил популярный мотивчик "Crazy Frog".

– Без глаз и зубы до самой глотки? – удивился Лео. – Что-то новенькое. Ну-ка давай поподробнее.

Из-за стекла зазвучала зубная чечетка.

– Я на кухне подожду, – предложил Георг и немедленно вышел.

Коллекционер слушал рассказ Мари, теребил очки, часто переспрашивал и бормотал себе под нос: "Не Роялезуб… и не Зубило Магнитогорское… и не Сиамский Проглот…". Зубастый человек в аквариуме продолжал использовать челюсти в качестве кастаньет.

– Ни на что не похоже, – пришел к заключению коллекционер и облизнулся. – Неужели что-то новенькое?! Какой удачный день! Интересно, на что он клюет?

Мари задумалась.

– Я, кажется, сама его выдумала… То есть не я, а мальчик. Он мне рассказал, как Зубастый человек выглядит, тут он и клюнул… в смысле, появился. Точно такой же, каким я его представила.

Настоящий Зубастый человек что-то почуял и замер, демонстрируя зубов полон рот.

– А-а-а! – сообщил девушке Лео. – Какой я болван! Почему я сразу не сообразил? Он выглядел в точности так, как его описал мальчик?

– Так мне показалось. А что, на самом деле он выглядит по-другому?

– На самом деле он никак не выглядит. Или, что то же самое, выглядит любым приятным ему способом. Вы, дитя мое, столкнулись с Ночным Хамелеоном! Он услышал, какой кошмар придумал мальчик, и принял именно это обличье. Великолепный, уникальный экземпляр! Я на него уже три года охочусь.

Коллекционер мечтательно вздохнул. Обитатель аквариума возобновил вдохновенное клацанье.

– А как вы на него охотитесь? – спросила Мари, представив старичка, ловко набрасывающего сачок на кошмар. Почему-то коллекционирование упорно ассоциировалось у нее с сачком.

– Как на всех, – рассеянно сказал Лео. – Вызываю охотников, договариваюсь о цене, даю описание ужаса, называю места, где его можно найти…

– И охотники возвращаются ни с чем?

– Если бы! Они все время возвращаются со всякой шушерой. То Загребушку приволокут, то Мыльного Растопыря. Ну скажите на милость, на кой ляд мне Растопырь?

Мари честно попыталась найти ответ, но никакого применения Мыльному Растопырю придумать не смогла. И не только для Лео, а вообще. Она приблизила лицо к стеклу и подмигнула Зубастому человеку. Тот щелкнул зубами и озадаченно уставился на девушку.

– Скучно тебе небось, зубастик?

Кошмар оглянулся, как будто хотел убедиться, что курсантка разговаривает именно с ним, и ответил:

– Не, нормально… Привык. Тесновато только.

– А давно ты здесь?

– Пять лет, – произнес Лео.

Выглядел он при этом не менее удивленным, чем его экспонат.

– Пять с половиной, – поправил его Зубастый человек.

– А я все понять не могла, что не так с вашими кошмарами, – задумчиво сказала Мари. – Они все время молчат, вот что не так. Вы с ними что, совсем не разговариваете?

– Разговаривать? – коллекционер почесал затылок. – С экспонатами? О чем?

– Ну вам же они интересны. Был бы интерес, а поговорить найдется о чем. Верно, зубастик?

– А то! – подтвердил ужас и выбил зубами "We will rock you".

В стену постучали, и недовольный голос Георга произнес:

– Вас там еще не сожрали?

Инструктор устроился на кухне коллекционера, как не устраивался у себя дома. Он уже успел смолоть кофе, сварить кофе и залить кофе полплиты. Теперь Георг медленно тянул остатки кофе и угрюмо смотрел на вошедших Лео и Мари.

– Шеф, мы все выяснили! – воскликнула Мари. – Задача упростилась. Второй пособник Омордня – Хамелеон! И Лео знает места, где его можно найти.

Коллекционер почему-то страдальчески скривился. Старший инспектор энтузиазма подчиненной тоже не разделил. Выслушав рассказ Мари, он посмотрел в кофейную гущу и спросил:

– А что ты имела в виду, когда сказала: "Задача упростилась"? Раньше нам надо было ловить одного Омордня, а теперь Омордня и Хамелеона. Задача упростилась?

– Ну, Хамелеона, наверное, поймать проще…

– Ха, – сказал Лео.

– Хм, – сказал Георг. – А вот тут ты, возможно, права. Если Лео не приврал по привычке и действительно знает места, где его можно найти. Что это за места такие, о которых я не знаю, а какой-то… штатский знает?

Коллекционер плотно сжал губы.

– Договор, – безжалостно напомнил полицейский.

– Аэропорт, – выдавил Лео. Вид при этом у него был, как у активиста "Гринпис", выдающего тайную лежку голубых китов транснациональным корпорациям.

– Аэропорт, – протянул Георг, – это вообще-то не мой участок.

– Международная зона, – не удержался от ехидства старичок, – это ничей участок. Поэтому они там и кучкуются.

– А где точно?

– В багажном отделении, – буркнул коллекционер и быстро вышел из кухни.

– Обиделся? – предположила Мари.

– Кто ж их, сумасшедших, поймет, – ответил Георг. – Пойдем, здесь нам ловить больше нечего. Попробуем в аэропорту.

Лео догнал их в прихожей и протянул небольшой сверток. Девушка решила, что коллекционер собрал им в дорогу ссобойку из мелких ужасов, но старичок радостно пояснил;

– Это перчатки для ловли Хамелеона. Иначе его вообще не поймать: хватаешь Жесткого Гибуля, а он – раз! – и вот он уже Бровастый Переплох. И утек. А перчатки – мое изобретение, между прочим! – держат Хамелеона намертво, кем бы он ни прикидывался.

– Спасибо, – сказала Мари.

Лео широко улыбнулся.

– Берите-берите, пользуйтесь! Да, если схватите не того – там на запястьях фиксаторы, щелкните – перчатки отпадут.

"Нечасто увидишь, чтобы помощь полиции оказывали с таким энтузиазмом", – подумала Мари.

Смена настроения коллекционера не ускользнула и от внимания Георга. Он небрежно сунул сверток в карман и вопросительно дернул подбородком в сторону Лео.

– Ну а как Хамелеона поймаете – сразу ко мне, – сказал тот.

Полицейский нахмурился.

– Договор, – с удовольствием произнес Лео.

– Который я могу один раз нарушить… – задумался Георг. – Ладно, потом нарушу, пригодится. Допросить его можно и тут.

– Допросить? – коллекционер скорчил гримасу.

– Поговорить, – сказала Мари. – Кстати, Лео, раз вы так кошмары любите, почему вы их держите взаперти? Они же у вас тут как в тюрьме.

Коллекционер рассеяно побренчал ключами.

– Почему в тюрьме?.. Они не в тюрьме… Они никогда не жаловались… Ах да, как бы они пожаловались, если я с ними не разговариваю… – старичок снял очки и завертел их в руках. – Ну хорошо… допустим… несколько наименее интересных экземпляров я бы мог… выпустить… ну… вертунов, например, они мне уже поднадоели… или Грушевидную Собаку… она у меня с самого начала…

Георг потянул Мари за рукав, и закрывшая дверь избавила девушку от продолжения беседы.

– Тебя кто за язык тянул? – сердито спросил инструктор. – Не хватало еще, чтобы он свой зверинец распускать начал! Мало мне забот!

Курсантка прищурилась.

– Шеф, вы определитесь. То, что Лео собирает ужасы, – это хорошо или плохо?

– Не умничай, ладно? – сказал полицейский. – Собирать ужасы ненормально. Но выпускать их еще хуже. Или ты хочешь погоняться за настоящим Зубастым человеком?

– Получается, что Лео оказывает нам услугу, держа кошмары в клетках?

– Ну, – неохотно согласился Георг.

– А вы ему даже спасибо не сказали.

– Соблюдайте субординацию, курсант Мари! – рявкнул шеф, после чего надулся и молчал всю дорогу.

Снова он заговорил только возле офиса.

– Подожди меня тут. Я быстро. Не успеешь оглянуться.

И вбежал в свой домик.

Инструктор ошибся. Курсантка успела оглянуться, осмотреться, прогуляться, поболтать с птицами, найти в грудах дворового хлама абсолютно целое зеркало и наконец дождаться темноты.

"Надо доложить об изменении обстановки", – решила она и направилась в офис.

Георга Мари застала в шкафу. Вернее, в шкафу находилась только верхняя (или передняя) часть шефа, а наружу торчала та часть, которой докладывать не очень-то хотелось. Поэтому курсантка просто сообщила:

– Я здесь.

– Ты-то здесь, – ответил глухой голос из шкафных недр, – а вот где он?

Мари внимательно посмотрела на соседний шкаф.

– Не знаю, тот ли это "он", которого вы ищете, – сказала она. – Но кто-то там точно есть.

Георг, испачканный по пояс, выбрался наружу.

– Где? Там?

Полицейский поднял поломанную хоккейную клюшку (как она здесь оказалась?) и постучал по дверце шкафа.

– Вот я вас! – крикнул он.

В ответ из угловой тумбочки высунулась кривоносая морда и доложила:

– А Ухокрут подслушивает.

Георг швырнул клюшкой в морду. Клюшка треснула о захлопнутую дверцу.

– А Кривонос ябедничает! – пискнул из своего шкафа Ухокрут.

– Вот гады, – сказал полицейский, – а как нужно от них что-нибудь, так не достучишься. О, а ты мое зеркало нашла! Ну-ка покажи… Стой!

Георг вгляделся в свое отражение и закричал:

– Да вот же он!

"Ну и ну, – подумала Мари. – Шеф нашел себя".

Инструктор развернулся, схватился за верхний край шкафа, подтянулся и спрыгнул со стеклянным флаконом, заполненным синей искрящейся жидкостью.

– Это Макс изобрел, – сказал он, бережно пряча флакон в нагрудный карман. – Пять штук сделал, и вот, последний остался.

– А что это?

– Увидишь.

Вход в служебные помещения аэропорта охранял сонный толстяк в полицейской форме. Удостоверение Георга он изучил лениво, потом взял в руки документ Мари, всмотрелся в карточку, перевел глаза на оригинал… Впервые курсантка видела, как из отвислого живота в считанные секунды получается молодецкая грудь.

"Только бы не покраснеть!" – успела подумать Мари и рванула внутрь, проталкивая шефа перед собой, словно пыж.

– Куда ты… – только и успел сказать Георг, влетая в коридор.

– Надо торопиться! Уйдет Хамелеон.

– Врет и не краснеет, – буркнул инструктор, глядя на Мари, которая как раз врала и краснела одновременно. – Ладно, где тут у них ужасы в багажном отделении? Багажные кошмары, надо же… Будь осторожней, курсант, а то еще выскочит навстречу какой-нибудь Чемоданный Потрошитель или Отрыватель Бирок.

Но вместо чего-нибудь подобного навстречу выскочила только администрация аэропорта в лице мелкой энергичной тетки. Позади нее маячил сутулый мужчина в синей униформе.

– Что вам нужно? – нервно спросила администрация, глядя поверх удостоверения Георга.

– Нам нужно самое темное и безлюдное место, – сказал полицейский.

– У нас современный аэропорт! – возмутилась администрация. – У нас международные рейсы в сто стран мира, не считая транзитов! У нас светло и чисто! Оглянитесь вокруг!

Георг обвел сумрачным взглядом панораму сияющего химической чистотой багажного отделения, по которому сновали носильщики с тележками, и остановился на лице Мари.

– Может, внизу? – подсказала она.

– В каком низу? – заверещала администрация. – В нашем низу нет никаких темных мест! У нас там… Что у нас там?

Тетка обернулась к сутулому молодцу. Тот посмотрел почему-то не в пол, а на потолок, и сообщил:

– Фундамент…

– Вот видите! – администрация уперлась острыми кулачками в бока. – Внизу надежный, прочный фундамент…

– И трансформаторная.

– …и трансформаторная! Что? Какая трансформаторная? Для чего?

Сутулый продолжал считывать информацию с потолка.

– Для трансформаторов.

– И там темно и безлюдно? – для порядка уточнил Георг, хотя его глаза уже загорелись. Мари определила это по напрягшемуся затылку и навострившимся ушам.

– Если свет не включать. И не входить. Комната 198, в полу люк…

Полицейский устремился вдоль дверей. Администрация всплеснула руками и бросилась следом. Сутулый оторвался от созерцания потолка и смутно улыбнулся Мари:

– …на люке код. 0503. Пять рук, три ноги.

– Спасибо, – девушка улыбнулась в ответ, потом решилась и добавила: – Мы за Хамелеоном.

Мужчина не удивился.

– Удачи, – сказал он. – Если поймаете, привет передавайте. Он от меня три раза уходил.

– А Лео что-нибудь передать?

Сутулый, который, уже безо всяких сомнений, был одним из охотников коллекционера, хмыкнул.

– Передайте, чтобы деньги готовил. Красноперую Жутиху почти выследили, на неделе доставим.

Спорящих Георга и администраторшу Мари нагнала у комнаты 198. Должностная тетка хотела непременно присутствовать при посещении полицейскими жизненно важной для аэропорта трансформаторной, а инструктор не хотел. Мари прервала бессмысленный спор, втянув Георга в комнату и захлопнув дверь.

Пароль "Пять рук, три ноги" сработал, и люк гостеприимно распахнулся. Полицейский глянул в узкую темную шахту, поскреб щеку и сказал:

– Ну вот, опять не побрился.

Подчиненная дисциплинированно промолчала.

– Слушай, я вот что подумал… – Георг по щетине добрался до затылка и теперь скреб там. – Ну, заберемся мы в эту трансформаторную. А дальше что? Раз это такой международный притон, там наверняка и кошмары будут матерые. Увидят полицию – сразу разбегутся. И это еще не самый худший вариант.

Мари мысленно согласилась, что худший вариант – это если кошмары увидят полицию и начнут сбегаться.

– Ну, положим, разбежаться им так просто не удастся, – инструктор похлопал по карману с загадочным флаконом. – Но что мы с ними дальше делать будем?

– Попробуем договориться, – сказала курсантка.

– С международными кошмарами? – Георг в сомнении покачал головой.

– Но ведь с Лео вы договорились.

Этот довод подействовал. Полицейский вздохнул и полез в люк.

Говорят, когда человек летит навстречу гибели, жизнь проносится перед ним за несколько секунд. Когда же человек навстречу гибели ползет, жизнь проходит неспешно, останавливается на самых интересных местах и наталкивает на неожиданные выводы.

– Выберусь отсюда, – услышала Мари под собой голос Георга, – снова женюсь.

– На ком? – спросила девушка, порадовавшись темноте шахты.

– На жене своей бывшей, на ком же еще. Я же говорю – снова женюсь.

Шахта закончилась небольшой бетонной комнатой с единственной дверью. Мари осветила ее лучом фонарика.

Трансформаторная

Опасно!

Перед входом включить свет!

Рядом с дверью, запертой на висячий замок, находился выключатель, к которому тут же потянулся Георг.

– Шеф, – укоризненно сказала Мари. – Нельзя включать. Это свет в трансформаторной. Включите – кошмары разбегутся.

– Ах, да, – сказал инструктор. – Я и не подумал.

Георг поправил фуражку, глубоко вздохнул, придал лицу пренебрежительно-официальное выражение и скомандовал:

– Мари, вскрывай замок… а, ты уже… Я первый, ты страхуешь сзади. В переговоры не встревай, это тебе не мои охламоны и не экспонаты коллекции. И никаких геройств, если что – беги. И кричи.

Они вошли в темноту трансформаторной. Тут действительно было безлюдно, ведь кошмары, даже в таком количестве – не люди. Темнота в углах колыхалась сгустками мрака, тени помельче шмыгали вокруг светового пятна от фонарика, который Мари на всякий случай направила в пол. Глухо гудело. Курсантка спокойствия ради решила считать, что это трансформаторы.

– Здравствуйте, – сказала девушка в темноту.

– Ну-ну, – ответили из темноты. "Прав Георг. Лучше мне не встревать". Тем временем старший инспектор закрыл дверь, достал флакон, сдернул колпачок, приложил флакон к стене. Синяя сверкающая жидкость поползла во все стороны, сначала медленно, потом ускорилась – и через пару секунд разлилась по стенам, обойдя помещение по периметру и сойдясь в противоположном от двери углу. Стены тускло засветились. Пронеслось недовольное хоровое ворчание. "Вот это здорово! – обрадовалась Мари. – Теперь все углы освещены, и никто не сбежит через темноту! И все кошмары видны…"

Она закусила губу. Это было совсем не здорово, что все кошмары оказались видны. На синем искрящемся фоне вырисовалось пять… десять… пятнадцать… девятнадцать силуэтов. Все разные, и действительно – ни один не похож ни на осведомителей Георга, ни на питомцев Лео. Эти источали угрозу, и угрозу нешуточную.

– Облава? – пробасил клубообразный, похожий на кучевое облако кошмар. Очень липкое и холодное кучевое облако. – И всего два человечка? Непохоже. Заблудились, может? Так еще не поздно назад сдать. Если быстро.

В центр выскочил наглый уродец, целиком составленный из колющих инструментов: ножниц, иголок, шпилек, вязальных спиц, даже сапожное шило обнаружилось в его конструкции.

– Это старый Георг! – застучал он железом. – Это мешочник! Он наших ловит! Заколю!

Из-за ужаса-тучи поднялся еще один кошмар, длинный и блестящий, похожий на очень толстый шланг от душа.

– Не звени арматурой, Колорез, – просипел Шланг, и Колорез быстро отступил в полутень. – Говори, старый Георг, зачем пришел.

Инструктор сунул опустевший флакон в карман, откашлялся – несколько продолжительней, чем это обычно делают докладчики. Мари даже собралась постучать шефа по спине, но тот сам выпрямился и строго произнес:

– Вот что, господа хорошие. Вы меня не интересуете…

– Обидно, да, – сказал гибрид кактуса, крокодила и мексиканского сомбреро.

По трансформаторной прокатился смешок.

– …и не будете интересовать! – повысил голос полицейский. – Пока не начнете шалить на моей территории. Но один ваш начал. Он-то мне и нужен. И без него я отсюда не выйду.

Речь полицейского произвела эффект, но, видимо, не тот, на который Георг рассчитывал. Кошмары не отпрянули, а, наоборот, придвинулись к инструктору поближе.

– Вот! – Колорез выкатился под ноги Георгу. – Я же говорил! Он по наши души пришел! Перо в бок! И в воду!

Шланг дернул мускулистым хвостом, и Колорез отлетел в сторону.

– И кто конкретно интересует? – насмешливо поинтересовалась помесь таракана, комара и рогатого жука.

– Хамелеон, – сказал Георг и бдительно оглядел сборище: не вздрогнет ли кто, не засуетится ли, не покосится ли на соседа. Но кошмары не повели ни ухом, ни усом, ни рогом, никакой другой частью тела.

– Какой такой Хамелеон? – сказал приземистый ужас, похожий на расплющенную черепаху с ушами. – У нас тут не зоопарк.

– У вас тут притон, – Георг по-прежнему ничуточки не боялся, – по которому спецназ плачет.

– Спецназ. Плачет. Смешно, – гулко, словно из трубы, произнес ужас в форме большой бетонной трубы. – А что нам за Хамелеона будет? Взамен?

– А взамен вам не будет спецназа, который я, так и быть, сюда не вызову.

– Да что с ним разговаривать! – снова выскочил Колорез, получил чем-то тяжелым от кого-то покрупнее и заткнулся. Похоже, разговаривать с набором спиц и иголок кошмары хотели еще меньше, чем с полицией.

– Ты вызовешь спецназ, если мы не сдадим Хамелеона, – подвел итог Туча. – И без Хамелеона ты отсюда не выйдешь. Так?

– Бинго! – сказал Георг и даже щелкнул пальцами.

– А как же ты вызовешь спецназ, если отсюда не выйдешь?

– И правда, – поддержал коллегу Шланг. – Здесь-то связь ни к черту.

– Вы что, мне угрожаете? Или голову морочите?

– Сам выбирай, что больше нравится, – хихикнул Мексиканский Крокодилий Кактус. – Мы и на то, и на это горазды.

– Неоказание помощи полиции, – начал Георг, – классифицируется статьей 193 как…

– А чего мелочиться, – прогудела Большая Бетонная Труба. – Организуй из нас добровольную дружину охраны правопорядка. Будет еще смешней.

"Весельчаки, – неприязненно подумала Мари. – Зря Георг затеял с ними играть в "Кто круче". Не тот случай".

Полицейский сложил руки на груди.

– А отдаете ли вы себе отчет в том, что создание препятствий проведению следственно-розыскных мероприятий…

Мари стало скучно. Никто никого здесь не собирался ни сдавать, ни бросать в воду с пером в боку. Можно было спокойно уходить. Но Георг, разозленный шуточками ужасов, завелся не на шутку.

"Может, и переупрямит их в конце концов, – решила девушка. – Только нескоро это случится. Пойду, присяду… а, вон и ящик стоит как раз".

"Ящик" моргнул. Мари вздрогнула, Немного повращала лопатками под кителем, чтобы разогнать забегавших мурашек, и подошла поближе. "Ящик" моргнул еще раз, и девушка снова вздрогнула. Внезапно прорезывающиеся на крышке обычного старого ящика глаза кого угодно заставят вздрогнуть. Особенно если эти глаза – миндалевидные, с подрагивающей радужкой – занимают полящика.

"Так вот у какого страха глаза велики!" – некстати озарило Мари.

– Ой, – сказала курсантка, – а я на вас чуть не села. Извините.

– Но не села же, – под парой мерцающих глаз на мгновение вспыхнул провал рта. Мари опять вздрогнула. – Так что не о чем и говорить.

– А вы почему не со всеми? – девушка кивнула на Георга в окружении кошмаров.

– Смотрю.

Голос у Ящика был странный, скрипящий, но не скрипом старого ящика, а треском и скрипом падающей вековой сосны.

– А, – сказала Мари и тоже посмотрела на шефа. Тот как раз срывал форменную фуражку со словами: "Да чтоб мне провалиться!".

– Твой начальник правильно боится, – вдруг произнес Ящик.

– Правильно? – Курсантка удивилась. Испуганным Георг совсем не выглядел. – Это как?

– Он свой страх внутрь загоняет. Поперек страха идет. Кто так не может, теми страх управляет. Это тоже правильно. А ты…

Ящик замолчал и уставился на Мари. Выждав немного, девушка спросила:

– А я?

– А ты ни так, ни этак. Твой страх из тебя выливается.

Мари снова задумалась.

– Моргните, пожалуйста.

Ужас моргнул. Девушка вздрогнула и прислушалась к себе.

– Да… похоже. А как вы это увидели?

– Работа такая. Смотреть. Видеть.

Курсантка вспомнила курс общения с криминальными элементами (раздел "Преступные сообщества", глава "Базовые понятия") и уточнила:

– Вы здесь Смотрящий, да?

В скрипящем голосе послышались ироничные нотки:

– Поглядывающий.

Мари посмотрела на Поглядывающий Ящик с уважением. И тут же сказала:

– Раз вы все видите, то должны и про Хамелеона знать?

Глаза-миндалины прищурились.

– А какое вам, полицейским, дело до нас? Мы не преступники. Никого не грабим, не похищаем, не убиваем – в отличие от вас, людей. Ты ведь не вегетарианка? Вы, чтобы прокормиться, убиваете животных, а мы – нет. Пуганем немного – и сыты. Так?

Ящик слегка повернулся в сторону девушки. "Ждет, – поняла она, – что спорить буду. Интересно, что у него под крышкой?" А сама сказала:

– Вы как бабочки.

Поглядывающий заморгал совсем по-человечески и не страшно.

– Бабочки, – пояснила Мари, – тоже никого не убивают. Собирают себе нектар, а заодно опыляют.

Ящик заколыхался, как водяной матрас при землетрясении. Курсантке отчего-то стало очень не по себе. Кошмары принялись суетливо оглядываться. И даже Георг сбился на фразе: "Давайте договариваться по-серьезному, а не то…"

– Извини, – сказал Поглядывающий, постепенно утихая, – это я так смеюсь. В инфразвуке. Бабочки… Что ж вы нас тогда ловите, раз мы… бабочки, ах-ха!

Бок кошмара снова всколыхнулся, и девушку прошиб прохладный пот.

– Мы не всех бабочек ловим. Только тех, кто кусается. Омордня, например. Он, кстати, и ваших ест.

Ящик перестал колыхаться и прикрыл глаза.

– Омордень, – сказал он после паузы, – это вопрос отдельный. А Хамелеон тут при чем?

– Так он на Омордня работает.

На секунду Мари стало страшно, что она сейчас выболтает служебную тайну. С этим страхом она поступила, как с остальными: позволила вылиться наружу – и выболтала Ящику все, что им удалось узнать у Лео.

– Лео, – скрипнул Поглядывающий, – вот уж кто любитель бабочек. А Хамелеон, ты говоришь, к душегубу подался. И ты, я вижу, не врешь…

Ящик задумался. Мари перевела дух. А заодно и взгляд. Георг сидел в кругу бубнящих кошмаров и монотонно повторял:

– Давайте уже что-нибудь решайте. Хватить мне мозги компостировать. Давайте уже что-нибудь решайте…

"Да, пора бы уже что-то решить", – согласилась с шефом курсантка. Синяя пленка на стенах потускнела, истончилась, а возле двери, там, куда инструктор ткнул флаконом, и вовсе исчезла, оставив небольшое, сантиметров тридцать в диаметре, черное пятно.

– Ладно, – сказал Ящик. – Будешь должна.

– Только если этот долг не помешает исполнению моего служебного долга, – внесла уточнение девушка.

Поглядывающий Ящик приоткрыл крышку и издал вроде бы тихий, шелестящий звук, который удивительным образом заполнил подвал от края до края. Кошмары застыли. Георг поднял голову.

"А под крышкой у него темно и хвоей пахнет", – отметила Мари.

– Хамелеон. Связался. С Омордне́м, – сказал Поглядывающий, и эти несколько слов упали так тяжело, что заставили кошмары пригнуться. – Это. Не. Правильно. Омордень – беспредельщик, и Хамелеон – подручный его.

"Получилось!" – обрадовалась курсантка.

– Вы знаете, – продолжил Ящик, – мы своих не сдаем. Поэтому сдать Хамелеона не можем.

"Вот тебе и на…"

– Но Хамелеон связался с беспредельщиком, поэтому сдать его нужно.

"Вот тебе и вот тебе и на", – сложно подумала Мари.

– Пускай… – главный кошмар прищурился, ужасы расступились, и в прицеле миндалевидных глаз затрясся Колорез, – …он все полиции расскажет.

– Что? – взвился металлический уродец. – Чтобы я? Да ни за что! Вы же меня потом уроете.

Остальные ужасы облегченно зашевелились. Георг встал и принялся шарить по карманам.

– Уроем, – согласился Туча, – но неглубоко.

– А если не сдашь, – добавил Шланг, – уроем эдак по самые пассатижи.

– Или Светлую Память устроим, – завершил перечень перспектив назначенного стукача Труба.

Колорез ответил не сразу – для начала ему пришлось перестать колотиться.

– Да, – звякнул он, – конечно. Я скажу. Конечно. Это…

Режуще-колющий ужас исподлобья оглядел коварных сотоварищей и ткнул щупальцем-спицей в сторону Шланга.

– …ты! Чего вылупился? Ты вчера Непотопляемым Затопленником оборачивался, я видел! А до этого – Ползуном Подкроватным! Ты думал, никто не видел? А я – видел!

Георг натянул перчатки Лео. Перчатки резиново взвизгнули.

– Что ж ты, Усос, – с укоризной прогудел Труба, пятясь от Шланга, – с беспредельщиками знаешься?

– Никакой это не Усос! – Колорез принялся подпрыгивать с противным лязгом, – это Хамелеон, чтоб я заржавел!

Усос-Хамелеон задрожал ребристыми боками, потерянно повел шлангом, повернулся к Трубе:

– Гуделло! – взвыл он на манер испорченного вакуумного насоса. – Брат! Скажи ты им! Мы же вместе приехали.

– Ошибаешься, оборотень, – отозвался Гуделло, – я с Усосом ехал. А где, кстати, Усос? Или твой хозяин и его оприходовал?

Георг двинулся на ложного Усоса, широко расставив руки в ослепительно желтых перчатках. Мари метнулась к командиру и встала у него за спиной, бдительно оглядывая помещение – не дернется ли кто Хамелеону на выручку. На выручку никто не дернулся, наоборот: стукач Колорез дернулся к дверям.

Точнее, не к дверям, а к черному пятну в прохудившейся синей пленке, диаметр которого уже достиг полуметра.

"Решил смыться, – подумала курсантка. – Чтобы не урыли. Только в такую дыру ему не пролезть, придется подождать, пока она больше станет…"

Но пакостный кошмар ничего ждать не стал. Он зыркнул по сторонам, потом сложился на манер навороченного зонтика, а когда развернулся…

– Шеф, Усос – не Хамелеон! – крикнула девушка и бросилась на бывшего Колореза, обернувшегося длинным бурым слизняком. – Вот Хамелеон!

Георг оглянулся на стажерку. Мари быстро-быстро хватала руками скользкое гибкое тело, но кошмар еще быстрее успевал освобождаться. И тянулся к дыре.

– Братва! – пищал он. – На помощь! Легавые!

Ужасная братва наблюдала за сценой, приоткрыв ротовые отверстия.

– Это ж Выскользень, – произнес Мексиканский Крокодилий Кактус. – Мы так не договаривались…

– Да какой Выскользень?! – закричал амнистированный Усос. – Это Колорез… то есть Хамелеон! Ах он скользкий гад!

Скользкий гад наконец вывернулся из рук Мари и, пискнув: "Нас голыми руками не возьмешь!", рванул в дыру.

В следующую секунду быстро, как в мультике, произошли три события.

Ярко-желтые перчатки подоспевшего Георга намертво впились в бурого слизняка.

Слизняк ввинтился в черное пятно на стене, утянув за собой перчатки, а за ними и Георга.

Георг втянулся в стену почти полностью, снаружи остался только правый ботинок.

Стоп-кадр.

Мари открыла дверь и выглянула в комнату перед трансформаторной. Инструктор по грудь торчал в стене, вытянув вперед пустые руки.

– Я, кажется, ногу сломал, – сказал он. – Левую.

– А где Хамелеон? Он все-таки выскользнул из перчаток?

– Это я выскользнул из перчаток, – Георг пошевелил руками. – Он, понимаешь, вместе с перчатками и ушел.

Мари вернулась в компрессорную.

– Застрял? – сочувственно спросил Усос.

– Ага, – курсантка погладила щиколотку начальника (ботинок раздраженно дернулся) и повернулась к кошмарам. – Придется вызывать аварийную службу, стену ломать. Так что вы пока идите. Когда все уляжется, вернетесь.

Ужасы, как по команде, повернули головы к Поглядывающему Ящику.

– Уходим, – сказал он после королевской паузы, и кошмары потянулись приглядывать в голубой пленке на стенах прохудившиеся места.

– Только знаешь что, девушка, – сказал Туча, втискиваясь в пятно под потолком, – вы нас не знаете, мы вас не знаем. А то знаем мы вас.

– Хорошо, – согласилась Мари. – А вам спасибо за помощь.

– Тебе спасибо, – сказал Шланг, втекая в дыру в углу. – Этот Колорез тут уже всех достал.

– Так ведь это был не настоящий Колорез.

– Настоящий Колорез еще хуже, – скрипнул Посматривающий Ящик.

Курсантка с интересом глянула на него.

– А вы почему не уходите?

– Останусь, – сказал Поглядывающий. – Посмотрю…

– Работа такая, – завершила Мари. – Понимаю. Тогда я включаю свет.

Нога в стене одобрительно кивнула.

Звук открывающейся двери стенного шкафа. Шаги. По полу тянет холодом. Минута безмолвия. Шорох. Одеяло падает на пол. Звук, который могло бы издать огромное ужасное чудовище, если бы захотело хмыкнуть.

Оно не видит Алекса. Алекс тоже его не видит. Почти не видит. Из-под кровати можно разглядеть лишь два крупных неясных пятна, более черных, чем темнота в комнате – ноги чудовища.

"Смотри, меня нет, – не разжимая губ, говорит мальчик. – Смотри. Меня нет. Для тебя здесь ничего нет. Уходи. Уходи-уходи-уходи…"

Кровать стонет, и край ее прогибается почти до пола, чуть не задевая Алекса. Оно садится на кровать. И вдруг начинает говорить.

Становится холодно, словно в комнате открыли большой холодильник.

– Ничего не понимаю, – голос чудовища густой, низкий, давящий на темя. – Страх вижу, а человека не вижу. Как это? Дайте-ка подумать.

Алекс слышит в голосе странную интонацию, что-то близкое к насмешке, и понимает, что его нашли.

– А-а-а, – тянет чудовище. – Ты решил поиграть со мной. В прятки. Как мило. Где же ты спрятался? Неужели под кроватью?

Пауза. Мальчик чувствует, что еще мгновение, и он не выдержит, выскочит наружу, а тогда… Чудовище причмокивает.

– Хорошо, – голос становится сытым. – Мне понравилось. Поиграем завтра? Но победитель игры должен получить приз. Какой же приз я получу, когда тебя найду? М-м-м… Придумал. Я тебя съем. Как ты думаешь, у меня получится? Я думаю, получится. В прошлый раз я съел шесть полицейских, а сейчас… почти никого. Это ведь будет отличный приз, как ты думаешь?

Стон кровати, шаги, дверь стенного шкафа захлопывается.

Глава 12
Честное сестренковское

Если ваши действия не привели к ожидаемому результату, значит, вы ожидали не тот результат.

Результат размышлений

Лучший отдых – смена деятельности на бездеятельность.

Из рекламного буклета

Все-таки прав был старый Георг. Не стоило им лезть в трансформаторную. Ночь пропала зря – к Омордню полицейские не приблизились ни на шаг. Несмотря на твердое намерение Мари после извлечения шефа из стены продолжить поиски.

Увы, препятствие в лице впавшей в истерику администрации оказалось посерьезней всех кошмарных преступных сообществ. Больше всего должностную тетку интересовал вопрос, зачем Георг сломал ее аэропорт. На все объяснения о сложностях проведения следственно-розыскных мероприятий в таких условиях администраторша вопила: "Не говорите мне про сложности, я все понимаю, я не девочка, вы объясните, зачем вы сломали мой аэропорт?!"

Прибытие к месту шума других заинтересованных лиц – от сутулого охотника Пять Рук Три Ноги до начальника таможни – только усугубляло положение. Администраторша налетала на новоприбывших с вопросом про сломанный аэропорт, те пытались понять, входили в положение Георга, пытались объяснить, и администраторша снова заводила песню про девочку…

– Я так и знала, что этим все кончится! – голосила тетка, тыча в торчащего из стены полицейского десятью пальцами одновременно. – Я сразу все знала!

– Если вы сразу все знали, вам следовало сразу нас обо всем предупредить, – сказала Мари, обеспечив целых десять секунд тишины, в течение которых администрация оскорбленно хватала ртом воздух.

На Поглядывающий Ящик, который, не слишком таясь, поглядывал на человеческое столпотворение, никто внимания не обращал. Но самое удивительное – ни один человек не заинтересовался, а каким, собственно, способом старший инспектор попал в бетонную стену.

Наконец пришли снулые аварийщики. Завидев Мари, они чудесным образом преобразились ("Прямо как Хамелеон", – подумала девушка), стали бравыми ребятами и всего за 15 минут, виртуозно, не задев даже штанин инструктора, разворотили стену.

В итоге монотонно ругающегося Георга вынесли из аэропорта одновременно с восходом солнца.

– А знаешь, – сказал инструктор, когда его доставили в госпиталь, загипсовали и уложили на койку, – я в этом вижу свою положительную сторону.

Курсантка не стала уточнять, что шеф имеет в виду: многочасовое висение в стене, шутки-прибаутки, с которыми его выковыривали аварийщики, или трещину на всю голень. Каждое из этих событий могло иметь свою положительную сторону.

– Я хоть отдохну, – продолжил полицейский. – Сто лет не был в отпуске. А тут раз – и отпуск. За казенный счет. Замечательно. Можно ничего не делать. Лежи себе. Расслабляйся. Плюй в потолок. Чихай в окно. Кашляй в…

С каждой фразой голос Георга становился все более напряженным. Мари поняла, что человека нужно спасать.

– Подождите расслабляться, шеф! – воскликнула она. – Сначала помогите составить оперативный план дальнейших розыскных мероприятий.

– Запросто, – сказал Георг. – Иди домой и ложись. Лежи, расслабляйся, чихай в потолок, плюй в окно…

– Вы думаете, Омордень сам на меня выйдет?

– Я думаю… Нет, я не думаю. Я приказываю: до моего возвращения ничего не предпринимать!

Георг для убедительности покачал ногой в гипсе. За ночь Мари научилась разбираться в малейших нюансах поведения начальственных ног. Сейчас левая нога выражала среднюю степень раздражения.

– Что именно не предпринимать? – уточнила Мари.

– Не искать Омордня, не искать его сообщников, не искать свидетелей, не соваться в притоны… – Георг поймал внимательный, запоминающий взгляд курсантки и поперхнулся. – Ты еще записывать начни! Ничего не предпринимать! Отправляешься в отгул и отгуливаешь, пока я не стану на ноги… на ногу!

Теперь подергивание ноги означало, что полицейский озлоблен глупостью подчиненной.

– Шеф, я, конечно, желаю вам скорейшего выздоровления… но давайте посмотрим правде в глаза.

Инструктор, за неимением лучшего, посмотрел в глаза курсантке.

– Вас выпустят не раньше, чем через пять дней. Омордень вышел из спячки неделю назад, а может и раньше, мы точно не знаем. Значит, он в любой момент может снова залечь в свою берлогу.

Мари остановилась, ожидая реакции шефа.

– Продолжай, продолжай, – подбодрил ее шеф. – Омордень заляжет в берлогу и…

– И тогда мы его уже точно не достанем.

– Потому что…

– Потому что он будет спать в берлоге.

– Вместо того, чтобы…

– Пугать по ночам детей.

– И что в этом плохого?

Мари нахмурилась. Нить беседы от нее ускользнула.

– Омордень спит в своей берлоге, детей не пугает, полицейских не глотает, простых кошмаров с толку не сбивает. Что плохого-то?

– Но он же пока не спит…

– Ты сказала "в любой момент", – напомнил Георг.

– Но ведь он по-любому через десять лет вернется…

– То есть десять лет можно о нем не думать? Отлично! Разве это не счастье?

Признаков счастья на лице инструктора Мари не заметила, поэтому решила прояснить ситуацию до конца.

– Вы предлагаете нам не ловить Омордня, а дождаться, пока он наестся и сам уйдет?

– Поправочка! – воскликнул Георг. – Не нам не ловить Омордня, а тебе не ловить Омордня. Давайте вы с Омордням дождетесь меня, и тогда мы попробуем что-нибудь сделать. Договорились? Вот и хорошо.

С этим словами инструктор отвернулся к стене, давая понять, что инструктаж закончен. Мари встала.

– А если ты хочешь спросить, – глухо сказал Георг в стену, – а как же те шесть полицейских, неужели я позволю остаться им неотмщенными, так вот: не позволю, но мстить Омордню еще и за тебя не собираюсь.

– Укольчики! – пропела пухлая медсестра, вплывая в палату. – Пациент, снимайте трусы.

– Видишь? – инструктор резко повернулся к курсантке. – Видишь, к чему приводит твое упрямство? Хочешь оказаться на моем месте? Вот в этой койке? Нет? Тогда приказываю: марш в отгул, и чтобы ничего, слышишь – ничего – не делала!

Медсестра выпустила из шприца струйку лекарства и загадочно посмотрела на девушку.

Мари поняла, что надо срочно уходить, пока не случилось самое страшное – лицезрение начальника без трусов. Хотя слово "лицезреть" здесь не годилось, тут следовало сказать…

Лицо девушки остыло только под мокрым сентябрьским ветерком, шныряющим вокруг госпиталя. Курсантка сделала вдох-выдох и приступила к выполнению приказа.

Мари с детства любила и умела ничего не делать. То есть "ничего" с точки зрения окружающих, по мнению Мари это было очень даже "чего". Например, смотреть с балкона, как внизу по овальной транспортной развязке кружат машины. Или щепкой помогать лиловому жуку взобраться на кирпич. Или просто сидеть и смотреть – как ползут стрелки часов, как одноклассники стучат мелом по доске, как учительница спрашивает, почему она ничего не делает, почему она не отвечает, почему она молчит и улыбается, она что, издевается над старой больной женщиной?!

Но ничего не делать по приказу было странно и непривычно. Хотелось что-нибудь сделать.

– Вернусь-ка я в Школу, – сказала Мари. – Там наверняка что-нибудь нужно срочно сделать. Правда, Георг приказал не делать ничего, но если мне что-нибудь прикажет вышестоящее начальство, то по уставу приказ Георга автоматически отменится.

Настроение курсантки улучшилось. Обхитрить начальство с помощью устава с недавних пор стало одним из ее любимых развлечений.

Но ни вышестоящего начальства, ни ниже-ходящих курсантов в ВШП не оказалось. Вечный дежурный третьекурсник Алоиз объяснил, что вчера вечером была объявлена тревога, и все, кого тревога застала за ничегонеделаньем, выехали на велосипедах в неизвестном направлении с неизвестной целью.

– Хотя цель известна, – сказал Алоиз, позевывая, – тоже мне, план "Барбаросса". Отработка спасательных мероприятий на случай глобального повышения цен на нефть.

– Значит, – медленно произнесла Мари, – сегодня вечером я совершенно свободна.

"Можно вернуться в больницу, – подумала она. – Подежурить у Георга. И ему будет легче, и мне достаточно тяжело".

– А, – сказал дежурный, – ты в этом смысле. Слушай, есть идея. Я стипуху получил, могу послать дневального в магазин. Вино-конфеты, посидим в дежурке, то-сё.

Проклятое "то-сё" вывело Мари из оцепенения.

– Ой, а я же стипендию еще не получила…

– Мари! – крикнул вслед Алоиз. – Ты чего сразу? Я же ничего такого! Тьфу!

Но Мари уже алела далеко впереди. Старшекурсник посмотрел на след от плевка и гаркнул:

– Дневальный! Почему беспорядок на паркете!

Школьная кассирша, которая обычно порыкивала на курсантов, чтобы те двигались поживее, встретила Мари как родную.

– Ну хоть ты пришла! А то с этими энергетическими учениями целый день сижу тут одна на куче денег. Вот ведомость, распишись здесь, здесь, здесь и на обороте.

Девушка послушно поставила автограф в четырех местах.

– А почему так много? – спросила она, протягивая ведомость в окошко.

– Стипендия – раз. На оздоровление – два. За безупречную практику – три…

– За практику? Я же ее только начала. Неужели благодарность от руководителя?

Кассирша покачала высокой крашеной прической.

– Какая благодарность! От твоего ни одной докладной не было. За это и надбавка. За безупречность. На других целые прокламации пишут. А четыре – премия. Бери-бери, а то еще выпишу надбавку за скромность!

Когда Мари отошла от кассы, в ее мобильнике звякнул напоминальник. "Тебе не стыдно?" – гласила надпись на экране. Курсантке стало стыдно. Она не могла понять, зачем написала это. Телефон звякнул повторно. На этот раз Мари увидела: "Так и не вспомнила? Ну? Соображай. Ну же! Эх ты… У сестры сегодня день рождения!"

"У Ирэн день рождения! – мысленно охнула курсантка. – А я забыла! Вот балда! Зато сообразила себя предупредить. Умница. Бегом за подарком!"

Естественно, как только нашлось дело, образовалось и начальство. В данном случае его роль выполнял лейтенант О. с повязкой дежурного офицера.

О. поводил фамильным носом и сказал:

– Занялись художественной лепкой? Правильно.

Потом принюхался и спросил:

– А что за лекарства? Болеете?

– Утром в госпиталь ходила, – доложила Мари.

– То-то я смотрю – гипсом пахнет.

– У вас поразительное обоняние, – искренне восхитилась девушка. – Разрешите идти?.

– Нет, – неожиданно сказал лейтенант. – Я должен провести с вами личную беседу.

"Неужели и этот туда же? – ужаснулась Мари. – Если спросит, что я делаю сегодня вечером, буду краснеть, пока сознание не потеряю".

– Как у вас, – спросил О., – в целом? Нормально?

– Так точно.

– Угу. А практика проходит… нормально?

– Так точно.

– Понятно. А с руководителем… все нормально?

– Так точно. Я как раз от него. Он ногу сломал.

– Это нормально, – подумав, заключил лейтенант. – Но он вас чему-нибудь обучает? Дает всякие обучающие задания?

– Так точно. Последнее обучающее задание – отправляться в отгул и ничего не делать.

Лейтенант достал из кармана ручку, понюхал ее, удивился и положил на место.

– А с личной жизнью, – сказал он, – никаких проблем?

– Так точно. Никаких. Разрешите идти?

– Вот и поговорили, – сказал О., вытащил блокнот и с удовольствием поставил галочку. – Идите.

– Спасибо, – не по уставу ответила Мари и быстренько, пока командир не передумал, выпорхнула в дверь.

Лейтенант прошелся вдоль доски почета, понюхал собственную фотографию и остался доволен.

– Дежурный! – крикнул он.

Когда Алоиз резвой рысью прибыл и доложился, О. сказал:

– Вольно. Я должен провести с вами личную беседу. Как у вас с личной жизнью? Проблем нет?

– Никак нет, – ответил курсант, – нету.

"Какие они все-таки разные, – подумал лейтенант, – одна говорит: "Так точно, нету", а второй: "Никак нет, нету". Хотя проблем у них нет у обоих. Пойти, что ли, на Пост № 1, поболтать с Жанной?" О. вздохнул и спросил:

– А как с практикой, все нормально?

Дверь курсантке открыла кошка Дина. Хотя кошки никогда не открывают двери людям, в прихожей больше никого не было.

Наглая красивая морда потерлась о стремянку, уселась на коврик с надписью Welcome, подняла на девушку глаза и спросила:

– Мяу?

Тут надо заметить, что слово "Мяу" отражало звук, изданный Диной, весьма и весьма приблизительно. Гораздо ближе к правде было бы "А-а-я-а?" или "Я-а-я-м?", но всех кошачьих обертонов и гармоник не передавали и такие междометия.

– "Мяу" в смысле "Чего пришла?" или "Мяу" в смысле "Чего стоишь, проходи"?

Кошка отвернулась. Мари присела и потрепала хозяйку квартиры по загривку. Та немного подумала, но кусать руку не стала, а сдержанно, с достоинством мурлыкнула.

Поглаживая Дину, девушка отметила двусмысленность расположения коврика на полу – со стороны входа надпись Welcome лежала вверх ногами. Так что ее вполне можно было расценить за приглашение выйти вон.

– Поберегись! – раздалось сверху, и на Мари обрушился вихрь рваных обоев и чумазое растрепанное создание в заляпанном комбинезоне. Курсантка провела мягкий вариант приема "Отражение атаки сверху с фиксированием атакующего" и поймала сестру. А заодно разгадала тайну кошек, открывающих двери: дверь, конечно же, открыла Ирэн, притаившаяся на верхней ступеньке стремянки.

"Вот я и дома, – подумала Мари, устанавливая сестру на ноги. – Можно не придумывать, что делать, сестричка все придумает… и сделает".

– Я тут старые обои обдираю, – сообщила Ирэн, чмокая Мари в щеки, – будешь помогать. Нет, помогать уже не надо, я все ободрала, будешь помогать клеить новые. Я их еще не купила, идем в магазин, будешь помогать выбирать. Постой-ка, а ты чего пришла вообще? Ты же говорила, у тебя практика днем и ночью, особенно ночью!

– Здравствуй, сестричка, – сказала Мари. – А практика отменилась, инструктор покалечился.

Близняшка уперла руки в боки.

– Вот как, значит? А если бы инструктор себя не покалечил, ты бы вообще не пришла? И родная сестра весь день рождения просидела бы одна?

– Я бы позвонила.

– А я бы трубку брать не стала! Кстати, надо позвонить.

Ирэн убежала в комнату. Мари и Дина последовали за ней.

– Чертова прорва кавалеров, – сказала Ирэн, набирая номер. – Ты же всех отшиваешь, так им деваться некуда, кроме как ко мне. Где они еще такую красоту найдут?

– Я не отшиваю, – возразила курсантка. – Просто… дел много, некогда.

– Смотри, выскочишь замуж, опять будет некогда… Алло, котик? Я тебя сегодня не увижу… Потому что ты ко мне сегодня не придешь… А это неважно, что ты собираешься…

Пока Ирэн радостно сообщала прорве кавалеров о том, что они сегодня пролетают, Мари осмотрелась. А потом еще раз осмотрелась. Последний раз она была в квартире месяц назад, но узнала ее только со второй попытки. Сменилось все: шторы, обои, обивка кресел, расстановка мебели, а люстра с пятью розовыми шариками превратилась в паукообразную конструкцию с дюжиной сиреневых висюлек. Ее сестру опять обуял демон переустройства жизни.

– …потому что у меня есть сестра, – тараторила Ирэн в трубку. – Да, такая же, как я. Да, такой красоты в таком количестве ты не вынесешь. Так что побереги себя, позвонишь мне завтра. Все, давай, не кашляй! Так, – она впечатала трубку в аппарат, – обои. Прихожая в опасности. Переодевайся и… Что у тебя с головой?

– Мяу? – переспросила Дина (если быть точным, Дина спросила "Я-а-я-у-я?").

– Проблем много, – ответила Мари, – нужно работать, а шеф…

– Ты мне зубы не заговаривай, сестричка! Что за кошмар у тебя на голове? Или ты этими лохмами бандитов пугаешь?

– Это не лохмы, это локоны…

– Локоны?! Коконы! Кто тебя стриг?

– Парикмахер в полицейской школе. Считается, что он очень хорошо…

– Ага, хорошо! Это не прическа, это… полицейский произвол! Ну ничего, сейчас я тебя спасу. Так, тут ковер, марш на кухню, пока я найду ножницы.

Мари отправилась на кухню. Тут же под ногами возникла кошка.

Каждый человек, направлявшийся на кухню, зачислялся Диной в потенциальные кормильцы, после чего коварное животное начинало бесшумно путаться в ногах. Расчет был простой: после того как человек наступит на бедную кошечку, он будет просто вынужден немедленно ее покормить. Однако Мари эти штучки знала и шагала осторожно.

– Дина, – строго сказала курсантка, – ты же не голодная. У тебя полная миска свежей еды.

Кошка понюхала миску и подняла голову в безмолвном удивлении. То ли не ожидала от гостьи такой сообразительности, то ли впервые видела миску. А скорее всего, просто поражалась логике Мари. Ну и что, что миска полная? Разве это причина не дать такой красивой кошке чего-нибудь вкусненького?

Вбежала Ирэн с ножницами.

– Мяу! (А-а-а-о-й!) – взвыла Дина, выдергивая хвост из-под тапочки Ирэн. И тут же подняла вверх глазки, исполненные нечеловеческого горя. Но не на ту напала.

– Дина, свинья! – рассердилась хозяйка. – Что ты посреди комнаты расселась, хвосты разложила? Топай в угол и не высовывайся! Так… Ножницы… Что я собиралась делать ножницами?

– Обои резать, – подсказала Мари в слабой надежде сбить сестру с мысли.

– Тебя стричь! – вспомнила Ирэн. – И не спорь! Сегодня твой день рождения, будешь делать, что я скажу. Завтра мой, буду делать, что ты скажешь. Где стул? Динка, а ну слазь немедленно! Мари, снимай свой кошмарный мундир, надевай халат, садись.

Курсантка покорилась. Так уж повелось в их семье – сейчас и не вспомнить почему – но именинник в день рождения был самой бесправной личностью. Его безжалостно заставляли принимать все знаки внимания – от безразмерных стихотворных поздравлений до великанских кремовых тортов, выполненных под девизом "Смерть фигуре!".

И они с сестрой-близняшкой действительно родились в разные дни: Мари в субботу за пять минут до полуночи, Ирэн в воскресенье в пять минут первого.

Иногда Мари казалось, что ее младшая сестра такая неудержимо стремительная потому, что с самого момента рождения пытается ее догнать.

– Ты читала наш гороскоп на сегодня? – щебетала Ирэн, примеряясь к голове сестры. – Нет, конечно, ты же считаешь их глупостью. А там, между прочим, сказано: провести вечер с близким человеком и не выходить на улицу после заката. А то будут неприятности…

"До заката еще далеко… До неприятностей тоже", – подумала Мари и расслабилась окончательно. В плите булькал жюльен, кошка Дина мягкой головой бодала ее ноги под стулом, сестричка ловко щелкала ножницами где-то вверху и сообщала последние новости.

Родители из Африки прислали письмо, у них там все хорошо, эпидемия экваториального ОРЗ локализована, африканцы выздоравливают сотнями, только в больнице душно, и москиты размером с собаку. Ирэн в искусствоведческом колледже лучшая по литературе, но с историей проблемы, потому что преподаватель дурак. Дина отказалась помогать обдирать обои, хотя до этого постоянно точила об них когти. Ирэн вот-вот выйдет замуж за богатого, молодого и нежного, но пока эти качества попадаются исключительно в разных людях – вот поэтому у нее так много кавалеров. А Мари в своей полиции непонятно чего ушами хлопает, там же столько возможностей…

Мари очнулась. Кажется, разговор зашел о ней.

– Да, – протянула она, – возможностей у меня хоть отбавляй. Целая казарма полицейских.

– При чем тут полицейские? – Ирэн взмахнула ножницами в опасной близости от носа сестры. – А твои преступники? Раз они преступники, значит, молодые и энергичные люди. Поймай какого-нибудь элегантного мошенника, и куда он от тебя денется?

– Ага… – Мари прикрыла глаза. – Молодые и энергичные… Да, пожалуй, парочка таких найдется.

– Вот видишь!

– Но это не люди.

Щелканье ножниц замедлилось.

– Ты ловишь животных?

– Нет. Это… как тебе сказать… В общем, это кошмары.

Ирэн фыркнула и вернулась к прежней скорости стрижки.

– Внешность в мужчине не главное. Даже лучше: на его фоне ты будешь особенно выгодно смотреться… Что ты смеешься, головой дергаешь?! Хочешь без ушей остаться?

– Извини, – сказала Мари, сдерживая смех. – Я просто представила, как я буду выгодно смотреться на фоне Омордня.

– На фоне кого?

– Есть такой кошмар, я его как раз ловлю. Очень опасный.

– Ну и не лови! Что, мужиков мало?

Мари повернулась к Ирэн. Ирэн уставилась на Мари. В глазах каждой светилась уверенность в собственной правоте.

"Кажется, я слишком расслабилась, – подумала курсантка. – Ирэн ведь жуткая трусиха".

– Давай не будем сегодня про работу, хорошо? А то еще сострижешь мне лишнее.

– А уже все! – объявила сестра и торжественно сняла полотенце. – Красота неописуемая.

– Да? – Мари стало любопытно, и она направилась в прихожую к зеркалу.

– А зачем тебе зеркало? – крикнула вслед Ирэн. – Посмотри на меня. Я поделилась с тобой лучшим, что у меня было – своей прической.

Получилось мило. Очень мило. Особенно когда в зеркале появилась вторая точно такая же милая головка.

– Ой! – закричала Ирэн. – Я двоюсь! Здорово! Постой-ка, постой-ка…

Сестра щелкнула переключателем рядом с зеркалом.

Зеркало в прихожей было особенным, с двумя режимами освещения. Первый, щадящий режим давал мягкий желтый свет, заметно улучшавший внешность. Посмотревшись в зеркало при таком свете, молодая привлекательная девушка выходила из дому в отличном настроении, от чего ее привлекательность повышалась на порядок. Второй режим включал яркий голубой свет, беспощадно подчеркивающий и укрупняющий все недостатки. Наилучший эффект первый режим давал после применения второго.

– Мама! – вскрикнула Ирэн. – У меня круги под глазами! Нет! Это у тебя круги под глазами! Ты с ума сошла? Ты до чего себя довела? Ты вообще не спала! Что ты делала ночью?

– Мы ловили Хамелеона, это такой кошмар, пособник Омордня… – Мари замолчала. – В общем, мы проводили следственно-розыскные мероприятия, и я…

– Замолчи! Ты – позор семьи! Марш в ванну, умываться, чистить зубы, возьмешь мою щетку, у нас зубы одинаковые, и спать! Пока круги под глазами не выспишь, на глаза мне не показывайся! Нет, вы только посмотрите, пришло страшилище сестру поздравлять!

Через десять минут умытая курсантка забралась в пухлую розовую постель, так не похожую на строгое курсантское ложе.

"Счастье", – подумала она.

– Мр-рм, – согласилась Дина, устраиваясь у Мари на животе.

Спалось девушке хорошо, а вот сны снились нехорошие. Хотя поначалу сон был замечательным. Мари видела себя со стороны – маленькая остроглазая девочка, выкрикивая радостные междометия, несется навстречу папе, папа, смеясь, подхватывает ее, подбрасывает к самому потолку – раз, другой… А на третий раз из потолка высунулись длинные морщинистые руки, схватили маленькую Мари и втащили в белую гладкую поверхность.

Большая Мари вздрогнула, проснулась, но даже не стала открывать глаза. Она знала, как поступать с подобными гадостями. Девушка размеренно задышала, ловя ускользающие обрывки сновидения, вытаскивая их за разноцветные хвостики из подсознания, сплетая в целое и вскоре снова оказалась в том же сне. Только теперь она не смотрела со стороны, а бежала навстречу папе, была подхвачена, подброшена, раз, другой… А на третий раз Мари развернулась как кошка и четким движением, отработанным в полицейском спортзале, врезала пятками по протянувшимся к ней рукам. Руки хрустнули и осыпались коричневыми полусгнившими листьями. "Вот видишь, – сказал папа, ловя Мари и прижимая к себе. – Все страхи от незнания. Когда знаешь, куда бить, то и бояться нечего".

Девушка мягко выплыла из сна. За окном заходящее сентябрьское солнце золотило все еще зеленые листья. Давящая тяжесть исчезла, она чувствовала себя так легко, как не чувствовала… по крайней мере последние три часа. Мари приподняла голову – так и есть: Дина ушла.

На выходе из спальни курсантка столкнулась с неуправляемым движущимся объектом.

– Я все придумала! – сообщил объект. – Мы оденемся одинаково, нас никто не различит. Мы так всех моих мужиков разыграем!

– Как? – Мари идея не очень понравилась.

– Как-нибудь! Потом придумаем. Покажи-ка мордашку, – Ирэн кончиками пальцев повертела лицо Мари направо-налево-вверх-вниз и осталась довольна. – Ну вот, другое дело! Теперь можно и за стол. Я уже все накрыла. Ты Дину не видела? Потерялась куда-то.

Дина нашлась там, где, по ее мнению, и должна находиться кошка в торжественных случаях – на праздничном столе, между вазой с виноградом и блюдом с тортиком.

Последовало короткое, но насыщенное разбирательство по поводу места, которое должны занимать хвостатые тунеядки в приличном доме. В итоге Дина удовлетворилась третьим стулом, поставленным специально для нее, и тарелочкой со сливками.

– Закрой глаза, – скомандовала Ирэн, – не подглядывай. И ты, Динка, не подглядывай!

Мари даже закрыла лицо руками. Ее всегда забавляло, как серьезно сестрица относится к подаркам и сюрпризам. Раздалось копошение, треск разрываемой бумаги, потом до Мари донесся аромат – тонкий и звонкий.

– Теперь можно! – сказала Ирэн.

Мари убрала руки. На столе стоял изящный хрустальный флакон с бледно-желтой жидкостью.

– Здорово! – искренне сказала она.

– Ура! Только честно, понравилось? Это твой запах, теперь все мужики твои. Я сначала упаковала в коробочку, а сейчас вдруг сообразила, что без коробочки гораздо шикарнее…

Мари притянула щебечущую сестричку и с чувством чмокнула. Потом взяла флакончик и осторожно вытянула пробку. Аромат вырвался на волю. Мари зажмурилась. Дина, которая успела занять стул хозяйки, чихнула.

– Это не туалетная вода, – продолжала трещать Ирэн, – а настоящие духи. Их нужно брать по чуть-чуть. Сюда, сюда, сюда и везде. Запах несколько дней держится, если не мыться.

– Если не мыться, – сказала Мари, – то запах чем дальше, тем крепче.

– Фу! Нахваталась казарменных шуточек. Надушись немедленно! И открывай шампанское, ты же знаешь, я стрельбы пробками боюсь.

Какая там стрельба! Шампанское оказалось таким дорогим, а сестричка так его заморозила, что Мари со всей ее специальной подготовкой пришлось попыхтеть, чтобы выдернуть пробку – настоящую, корковую – из запотевшего горлышка.

Французский брют, благородно шипящий и пускающий щекочущие нос пузырьки, фамильные, позеленевшей бронзы канделябры со свечами, пламя которых тоже отливало зеленоватым, раскрасневшаяся от удовольствия Ирэн, наполняющая комнату рассказами о всяких пустяках, кошка, мягкой рокочущей подушкой устроившаяся на коленях. Что еще надо девушке для полной гармонии с миром?

Ничего больше не надо. А в данном случае даже не помешало бы кое-что убрать. Гармонию портила полка над телевизором, точнее, ее содержимое. Раньше, до начала практики в подразделении 11, Мари просто пожала бы плечами, но сейчас…

– Ты чего? – Ирэн оглянулась. – Ты же мою коллекцию всегда терпеть не могла!

"А вот даже не знаю, что я ее теперь", – подумала курсантка, глядя на прямоугольники ПТО-дисков. "Кошмар на улице Вязов", "Сияние", "Психо", "Изгоняющий дьявола", "Байки из склепа", "Восставший из ада", "Ведьма из Блэр", "Пятница, 13-е", "Хэллоуин", "Крик", "Дракула", "Дети кукурузы", "Чужой", "Чужие-1", "Чужие-2", "Чужие-3", "Чужие-4", "Ночь живых мертвецов", "Рассвет живых мертвецов", другие приключения живых мертвецов…

"Вот вам еще один коллекционер ужасов. Мы Лео в добровольные эксперты силком затащили, а тут такой специалист. Только, наверное, не стоит сестренку в эти дела втягивать".

– А ты что, – Мари бросила в рот большую желтую виноградину, – перестала их бояться?

– Ну я же не одна смотрю, – Ирэн улыбнулась, то ли о чем-то приятном вспоминая, то ли мечтая. – А вообще очень удобно. И тебе советую. Приглашаешь к себе стеснительного парня, ставишь ужастик, а когда становится страшно, прижимаешься к нему…

Сестра замолкла и с укором посмотрела на Мари. Та попыталась спрятать лицо за бокалом шампанского.

– Нет, – вздохнула Ирэн, – не разыграть нам моих мужиков. Они с первого взгляда догадаются, кто из нас я, а кто – чемпион мира по застенчивости.

Мари поспешила сменить тему, поэтому спросила то, что и хотела спросить, но минуту назад решила не спрашивать, но сейчас забыла об этом, потому что спешила.

– А в твоих ужастиках как люди находят кошмары?

– Да одинаково, в общем-то, – подумав, сказала Ирэн. – Забираются в заброшенные дома, где двадцать лет назад всех убили, заходят в проклятые деревни, лезут в погреба, колодцы, подвалы…

– Нет, я про те кошмары, которые из шкафов вылезают.

– А, как в "Бугимэне"?

– Да… наверное. Как люди ищут такие кошмары?

– Ищут? Искать кошмары? – удивилась Ирэн. – Зачем это? Никто в ужастиках не ищет кошмары. Кошмары сами тебя находят. А почему ты спрашиваешь? Ты ведь не просто так спрашиваешь! А ну, колись, чем ты занимаешься!

– Нет, – сказала Мари, глянув в вечерний полумрак за окном. – Еще бояться начнешь.

– Интересное дело! – возмутилась сестрица. – Бояться я начну! А если я буду знать, что моя сестра занимается чем-то таким страшным, что даже сказать нельзя, думаешь, буду меньше бояться?

На это Мари не нашла что возразить. Мысленно отругав себя за несдержанность, она рассказала все, что узнала с момента зачисления в подразделение 11. Опустив только совсем уж неприятные вещи вроде глотания полицейских.

Сначала Ирэн слушала с восторгом ("Ваше подразделение 11 – просто "Секретные материалы" какие-то! А вы с Георгом – как Малдер и Скалли!"), но постепенно лицо младшей сестренки приобрело несвойственную задумчивость.

– Как же так… – сказала Ирэн, когда Мари завершила рассказ. – Ужасы в самом деле существуют… Почему об этом никто не знает?!

– Дети знают. Но взрослые им не верят. А раз не верят, то и не видят.

Ирэн достала из банки оливку и катнула по столу. Оливка упала на пол, следом тут же спрыгнула Дина: началось ее любимое развлечение – охота на скользкую и подвижную, то есть условно живую еду.

– Но я-то тебе верю.

Мари сконфуженно кивнула. Дина пихнула оливку лапой и поскакала за ней под стол.

В шкафу что-то отчетливо стукнуло. Ирэн вздрогнула так, что локтем повалила бутылку, пролив на скатерть остатки шампанского.

– Это, наверное, соседи… что-нибудь прибивают?.. – она с надеждой посмотрела на Мари, но та успокоить Ирэн не могла. То, что это не соседи, точнее, не те соседи, с которыми здороваешься, встретившись в подъезде, было ясно и ей, и кошке Дине, которая, забыв об оливке, стояла перед шкафом, часто дергая хвостом.

Мари неслышно встала, подкралась к шкафу, осторожно взялась за ручку. "А вдруг там окажется не пустяковина вроде Драбарухи, а Отхлебник или Страхон? Или, того хуже, кто-нибудь из подвала под аэропортом? Успокоит это Ирэн, как ты думаешь?"

В любом случае останавливаться было нельзя. Девушка распахнула шкаф. Никого. Разве что в самом углу как будто мелькнуло и исчезло что-то лохматое. А "как будто" – не считается.

Теперь можно повернуться к сестре и уверенным родительским голосом заявить: "Вот видишь, здесь никого нет. А ты, глупыш, боялась". Но Мари хорошо знала, что бывает после того, как родители, весело пошутив, уходят, прикрыв за собой дверь и погасив свет.

Поэтому она вернулась к столу, залпом допила шампанское и сказала:

– Не забыть завтра накостылять по шее барабашкам. Совсем обнаглели, житья от них нет.

Ирэн настороженно молчала. Дина переводила глазки со шкафа на Мари и обратно, но движения кошачьего хвоста стали плавными, почти спокойными.

– Не бойся, сестричка, – курсантка постаралась вложить в голос максимум беззаботности, – я их прогоню.

– Ну да, чего бояться, – напряженным голосом произнесла Ирэн. – Всего-то дел – нанять тебя в круглосуточные телохранители. Выставить пост у кровати, а лучше в шкафу…

– Слушай! – встрепенулась Мари. – А у тебя нет случайно такой музыки?

И она напела мелодию из китайской шкатулки для отпугивания кошмаров.

– А-а-а, – не в такт, но с душой подпела Дина.

Ирэн какое-то время кривила губы, сдерживаясь, но потом прыснула:

– Ты издеваешься? Что это за позорище? Ты думаешь, что у меня, твоей сестры, будет такая… музыка?

– Отлично! – Мари уже переодевалась в полицейскую униформу. – Сейчас я тебе принесу шкатулки с этой музыкой, кошмары ее боятся… то есть не любят, но это все равно, не сунутся. То есть сунуться-то могут, но ты их включишь – и нет их. Все, я побежала.

– А подарок? – надулась сестра.

– Нетушки! Заранее не дарят! Вернусь и в пять минут первого подарю.

– Точно?

– Угу, – руки Мари привычно проверяли подгонку амуниции.

– Нет, скажи "Честное сестренковское"! – Ирэн топнула ножкой, как любила это делать в детстве.

– Честное сестренковское…

– …что я приду, – диктовала Ирэн.

– …что я приду…

– …к своей любимой сестричке Ирэн…

– …к своей любимой сестричке Ирэн…

– …не позже пяти минут первого!

Мари глянула на часы.

– …не позже пяти минут первого!

Ирэн засопела. Дина сидела столбиком и смотрела осуждающе. Мари поцеловала сестру и сказала:

– А если тебе покажется, что в углу или шкафу кто-то прячется… Нет, Дина, не ты! Кто-то плохой. Тогда ты повернись туда и громко скажи: "Моя сестра Мари служит в кошмарной полиции, она придет и посадит вас в мешок".

Ростом Ирэн не отличалась от сестры, но сейчас она смотрела на Мари снизу вверх. Наверное потому, что курсантка была в форменных сапогах на небольшом каблуке.

– Обещаешь? – спросила Ирэн.

– Обещаю. Они испугаются и убегут.

– Нет, обещаешь, что придешь не позже пяти минут первого?

– Когда я тебя обманывала?

– Никогда, – сказала Ирэн и задрожала губами.

"Терпеть не могу женских слез!" – подумала Мари, выскакивая из квартиры.

Объект **№ 2114**

ПОЛОСКРИП ПАРКЕТНЫЙ

Вид: **бродитель.**

Упорно подвижный. Редкий. В свое время вытеснил Полоскрипа Досочного (№ 333), в настоящее время практически вытеснен Полоскрипом Ламинатным (№ 17550). а также Шаркателем Линолиумным (№ 9235) и МДФ-Царапателем (№ 20118).

Ареал преимущественного обитания (место лежки):**пилорамы, мебельные склады, старые квартиры.**

Способ нейтрализации: **капитальный ремонт здания.**

Количество поимок: **128**

Испорчено полов при самодеятельных попытках добраться до объекта: 2012.

Объект **№ 15001**

ВЫСКОЛЬЗЕНЬ

Вид: **выскакиватель.**

Очень подвижный, скользкий, верткий.

Стремительными маневрами доводит жертву до головокружения и потери ориентации в пространстве. Может пролезть в вентиляционную решетку (зачеркнуто), в замочную скважину (зачеркнуто), в игольное ушко.

Ареал преимущественного обитания (место лежки): **узкие места.**

Способ нейтрализации: **скотчем заклеить все узкие места.**

Количество поимок: **0**

По непроверенным данный, причастен к созданию теории сверхтекучести.

Глава 13
Ловушка

Первым на ловца обычно бежит не зверь, а тот, за кем зверь гонится.

"Техника безопасности на охоте"

Импровизируйте! Будьте неожиданными! Попробуйте в критический момент игриво укусить партнера за ухо.

М. Тайсон. "Секрет моих успехов"

Мари бежала по вечерним улицам спортивной трусцой, как их учили на занятиях по работе под прикрытием ("Никто не заподозрит полицейского в человеке, который бегает для своего удовольствия"). Можно было идти пешком, времени еще навалом, но на бегу лучше думалось. Мешок со шкатулками был пригнан плотно и бежать не мешал.

"Вдох, раз-два-три, выдох, четыре, – размышляла курсантка, – что мы имеем? Вдох. Никто не ищет ужасы – раз. Ужасы сами находят жертв – два. Где жертва, там и ужас – три. Выдох. Значит, ищем жертву – четыре".

Курсантка глянула на часы. 22:03. До дома сестры оставалось минут пять легкого бега.

– Час! – приказала она себе. – Шестьдесят минут ищу, потом бегу к Ирэн. Еще час на празднование, сестру – в постель, и вперед. В смысле – назад, снова бегать… искать. К утру можно обежать… обыскать полгорода. А завтра – вторую половину.

Мари свернула во дворы. Теперь она бежала мягко, как учили на занятиях по скрытному перемещению ("Никто не заподозрит полицейского в человеке, которого не видно и не слышно"), перекатывалась с пятки на носок и бесшумно дышала. Так было медленнее, зато лучше слышно. Временами курсантка застывала под балконами и прислушивалась еще тщательнее. Ни одного детского вскрика или протяжного скрипа. Зато из каждого третьего окна доносились выстрелы, вопли и четкие энергичные команды: шел популярный сериал про полицейских.

В 22:08 Мари ждал первый, хотя и сомнительный, успех. В длинной темной арке между домами она застукала Хруса. Ужас, прислонившись к стене, меланхолично щелкал локтями и лязгал суставами. Получалось очень похоже на затаившуюся в подворотне банду, по самые локти вооруженную выкидными ножами, кастетами и ржавыми обрезами.

– Не, ну что за… – расстроился Хрус, завидев Мари. – Опять полиция!

"Никто не заподозрит полицейского в человеке, – подумала курсантка, – если этот человек не забудет перед секретной операцией снять полицейскую форму".

– Расслабься, Хрус, – бросила она на ходу. – Не до тебя сегодня.

"Уж лучше пусть здесь взрослых попугивает, – подумала она, выбегая из-под арки, – чем по детишкам рыскать. Детишки-то в такое время все по домам сидят".

За следующие двадцать минут Мари приметила в темных дворах и переулках безголового Одекорбита, растрепанную Вымру, трясущегося Отломня, парочку незнакомых ужасов, по виду – типичных представителей кошмарной мелюзги. Один раз ей показалось, что в окно городского музея влетела Драбаруха.

А в 22:29 девушка убедилась, что версия о сидящих по домам детишках ошибочна.

На лавочке у подъезда, прямо под фонарем сидел мальчишка лет семи. Возможно, он вышел подышать свежим воздухом. Или ждал родителей, которые задержались в гостях. Или, наоборот, из принципа не возвращался домой, потому что поспорил с родителями. Но больше всего мальчишка напоминал нахохлившегося птенца, который забрался на самое видное место, чтобы спрятаться от кошки.

– Привет, – осторожно сказала Мари.

Мальчик вздрогнул и поднял глаза. Бледнел он с еще большей скоростью, чем Мари умела краснеть.

– Ты что, испугался? Ага, понятно. Это я слишком тихо подкралась. Сейчас…

Девушка вернулась за угол и быстренько нарушила все правила бесшумной экипировки: ослабила ремни, переложила металлические предметы поближе друг к другу, подумала и высыпала в карман монетки из кошелька.

Второй раз она появилась перед мальчиком, громко топая и гремя, как испорченная колокольня.

Мальчик перестал бледнеть и почти улыбнулся.

– Ну привет! – сказала курсантка самым грубым голосом. – Как дела?

– Хорошо, – сказал мальчик, – ты не он.

"Ну и денек, – подумала Мари, – все видят во мне женщину".

– Угадал, – сказала она, – я не он. Я она. А он – это кто? Папа? Отчим?

Мальчик помотал головой.

– Папа у меня хороший. Они с мамой уже спят.

"Ну вот, – подумала Мари одновременно с облегчением и сожалением, – наверное, выскочил и дверь захлопнул".

– Не проблема, – сказала девушка, – я через форточку могу залезть.

– Хорошо, – серьезно сказал мальчик, – только давай через час. А то скоро одиннадцать. А Он вылезает из шкафа в одиннадцать. Ты со мной посидишь?

"Он? Омордень? – подумала девушка. – Или не Омордень? Из шкафа вылезает, значит, кто-то из крупных".

Она села на лавочку.

– Пока мы все равно сидим, расскажи-ка мне про него… то есть про Него.

Мальчик вдруг обнял курсантку и заговорил прямо в ее куртку:

– Он уже два раза приходил. Он сказал, что сегодня снова придет. И съест меня. Я папе говорил, а он шутит, он говорит: "Тебя, Алекс, давно пора съесть, потому что ты сам ничего не кушаешь". А я потому и не кушаю, что его боюсь. Не папу боюсь, а этого. Он в одиннадцать… я вылез… они спят…

Мари посмотрела наверх, куда тыкал Алекс. На четвертом этаже, совсем рядом с пожарной лестницей, она увидела раскрытое окно.

"Ого, – подумала девушка, – здорово его припекло".

– Это ты сам по лестнице спустился! Молодец! И не страшно было?

– Страшно, – мальчик оторвался от куртки, глаза его, как ни странно, были совершенно сухими, – но Он страшнее.

– Все равно, Алекс, ты страшно сме… очень смелый. А ужасы, они только трусам могут навредить.

Алекс помотал головой.

– Нет, – прошептал он, – этот может и смелого съесть. Он сам говорил, что съел шесть полицейских. В полицейские только смелых берут, правда?

"Ну вот, – отрешенно подумала Мари, – ловец и прибежал к зверю".

– Точно, – сказала она, – я сама полицейский. Курсант Мари. Вот, смотри, шеврон. А вот это – значок Высшей Школы Полиции.

– А-а-а, школы… Плохо.

– Почему?

– В школе плохо. Я подсказал на уроке… одной девочке, а учительница сказала, что за это ко мне придет ночью кошмар. И он пришел.

– Нехорошо, – сказала Мари.

– Подсказывать? Вот и учительница сказала…

– Да подсказывать-то ладно, тем более девочке. А вот твоя учительница… – курсантка в последний момент удержала себя за язык, – …ну, с этим мы потом разберемся. А сейчас…

"А что сейчас? Вызывать спецназ?"

Мари вытащила мобильник и прошлась по адресной книге. Спецназа в списке не оказалось.

"Да и не успеет спецназ за пятнадцать минут. Значит, сама. Что я могу сама?"

Она может посидеть на скамейке с мальчиком до половины двенадцатого. Омордень придет, увидит, что в детской никого нет, и уйдет. И больше сюда не придет, некогда ему проверять пустые кровати. А она опять не будет знать, где его искать. Глупо.

Она может уложить мальчика в постель, сама для страховки затаится в углу. Омордень придет, попугает, уйдет. Утром она пойдет к Георгу, Георг организует засаду, и в следующую ночь Омордня схватят. Разумно.

"А если Омордень действительно съест мальчика? Прямо сегодня? Я успею выскочить из своего угла? Ужасы не едят детей, они питаются детским страхом, им нет смысла есть тех, кто их кормит… Но Омордню нужно много страха. А человек, которого… едят, боится особенно сильно. С другой стороны, человек, который уверен, что его съедят, боится вряд ли меньше".

Мари посмотрела на Алекса, на часы (22:49) и приняла сразу три решения.

1. Она не будет сидеть с мальчиком на скамейке.

2. Она не будет укладывать мальчика в постель.

3. Она все сделает за полчаса и успеет к Ирэн.

– В индейцев играть любишь? – спросила Мари.

– Нет. Я в "Дьябло" люблю. И в "Контр-страйк".

"Ах, да, – вспомнила девушка, – сейчас дети не играют друг с другом, они играют с компьютером".

– Ну, пусть будет "Дьябло". А в чем там смысл?

Алекс посмотрел недоверчиво. Или с жалостью – вот, дескать, как вас замордовали в вашей Школе Полиции, элементарных вещей не знаете.

– Ты играешь за могучего героя и убиваешь всяких злодеев.

"Да это же про меня! – обрадовалась Мари. – Я играю за могучего героя – Георга, а всяких злодеев убиваю… то есть изолирую от общества".

– А у могучего героя бывают помощники?

– Да. Можно нанять лучника. Или копейщика.

– Ну тогда я… могучий герой, нанимаю тебя в качестве… разведчика.

Мари опасалась, что ее кандидатура на роль могучего героя не пройдет, но мальчик охотно поддержал идею.

– Ты будешь амазонка Мари. А я – типа Баррив. Баррив ни с кем не дерется, а просто приводит героя в нужное место.

– Ну, Баррив, – курсантка вновь перевела обмундирование в боевое, бесшумное положение, – слушай первое задание…

– Миссию…

– Миссию, ага. Сейчас амазонка с Барривом засядут в засаде… укроются в укрытии… короче, подкараулят злыдня и надают ему по башке. Готов?

Алекс посмотрел на окно спальни и кивнул. Мари подсадила мальчика на лестницу и запрыгнула следом.

По лестнице Алекс взбирался довольно резво, но напротив своего окна остановился и оглянулся на курсантку. Мари пришлось взять его в охапку и рискованным, не слишком грациозным прыжком перелететь на подоконник.

– А если бы я мимо не проходила? – спросила она, ссаживая Алекса на пол. – Как бы ты домой попал?

– А у меня ключи есть, – Алекс тихонько достал из кармана блестящую связку.

Так курсантка невольно узнала первое правило ролевых компьютерных игр – прежде чем куда-то лезть, расспроси местных.

– Мари, а где мы засаживаться будем? Под кроватью нельзя, Он там меня в прошлый раз нашел.

– Я – в твоей кровати. А ты…

Девушка огляделась.

– Вот тут, на кресле у двери.

Она почти замаскировала Алекса в кресле пледами и рубашками, когда тот высунул нос из укрытия:

– Мари, а мы сохраняться будем?

– Сохраняться?

– Да. Я, когда в "Дьябло" играю, перед каждой миссией обязательно сохраняюсь. Если убьют, можно вернуться и заново пройти.

"Отличная идея, – подумала Мари. – Надо будет выступить перед руководством с инициативой обязать полицейских сохраняться перед опасными операциями".

– Эту миссию, Баррив, мы с первого раза пройдем. Тебе три задания: сидеть тихо, смотреть молча и, главное, не бояться. Если что, беги в спальню к родителям и поднимай их.

– Если что? – Алекс шептал на пределе слышимости.

– Если ничего.

Курсантка прикрыла нос разведчика кепкой и принялась аккуратно, как ее учили на занятиях по разминированию, раскладывать шкатулки. То есть на разминировании ее учили обнаруживать и обезвреживать, но если знаешь, как найти, можно придумать, где прятать.

Через минуту четыре шкатулки из двенадцати разместились между кроватью и шкафом, убедительно замаскированные под машинки и паровозики. Наверное, хватило бы и двух, но рисковать не хотелось… однако приходилось – трудно не рисковать, устраивая самодельную засаду на Омордня.

Девушка глянула на часы: 22:58.

– Все, – сказала она, – сидим тихо.

Амазонка поправила одеяло, легла сверху. Взяла в одну руку мешок, в другую – пульт управления шкатулками и накинула на себя покрывало.

23:00.

23:05.

23:10.

"Не пунктуален господин Омордень, – озабоченно подумала Мари на одиннадцатой минуте. – Неприлично опаздывать на свидание к молодой красивой девушке, даже если думаешь, что это маленький испуганный мальчик. Или он соврал и сегодня не при…"

И тут она услышала, как шкаф ожил, наполнился, покачнулся.

"На живца и зверь бежит… то есть на ловца!" Мари нахмурилась. Оговорка ей не понравилась. Она положила палец на кнопку включения китайской музыкальной дребедени, отогнула краешек покрывала и осторожно выглянула.

Так и есть. Из шкафа потянуло морозом. А затем потянулась и рука Омордня.

Монстр выбрался наружу, огляделся, принюхался, растянул в резиновой улыбке щель рта и сделал шаг вперед. Курсантка откинула покрывало, села и нажала кнопку. Шкатулки запиликали адскую смесь, в которой с трудом угадывалась только "Ода к радости".

От симфонии-какофонии китайского производства Омордень аж затрясся. Монстр заткнул уши руками, попятился, начал поворачиваться к шкафу и… увидел Мари.

– Ты?! – сказал он. – Опять ты?!

Омордень швырнул длинную руку вниз и смел шкатулки к стене. Те жалобно пискнули и заткнулись. Кошмар сделал три шага к кровати. Посмотрел на мешок в руке девушки. Наклонился. Нижняя челюсть Омордня поползла вниз, сминая, морща, деформируя тело чудовища. От коктейля из холода и паники Мари заколотило.

"Он же меня сейчас проглотит! – мысли курсантки заметались. – Надо срочно… надо… удивить… что-то неожиданное…"

– А посолить? – капризным голосом спросила она. – А поперчить? А укропчику?

Пасть захлопнулась, едва не оттяпав Мари нос. Омордень пошевелил ноздрями, шмыгнул, фыркнул и… чихнул, осыпав кровать градом сосулек. Девушка еле успела закрыться покрывалом. Вновь выглянула.

Монстр водил искаженной мордой слева направо. Потом тяжело посмотрел на несостоявшийся ужин, качнул головой, повернулся и одним прыжком нырнул в шкаф.

Стало совсем тихо, только в одной из покореженных шкатулок что-то немузыкально скрипело.

"Ну вот, – вздохнула Мари, выбираясь из чужой холодной постели. – Ребенок спасен, Омордень упущен. Все по плану".

– Здорово! – сказало кресло у двери. Из кучи одежды показалась голова Алекса. – Ты его победила?

– Трудно сказать. Он меня не съел, значит, победила. Но я его не схватила, значит, не победила.

– У вас, у взрослых, – сказал Алекс, – все так сложно. А мне дальше бояться или нет?

– Бояться не нужно, – строго сказала курсантка, – нужно опасаться.

Даже в темноте было видно, что никакой ясности Мари не внесла. Тогда она развязала рюкзак и достала еще две шкатулки.

– Возьми. Если вдруг кто-нибудь еще заявится, ты раз, – курсантка нажала кнопку на одной из шкатулок, та заиграла "Jingle Bells", – а потом два, – вторая загудела "Боже, храни королеву".

Алекс наклонил голову, вслушиваясь.

– А чтобы выключить, обязательно об стенку кидать?

– Нет, – Мари улыбнулась, – нажмешь кнопку еще раз.

Мальчик протянул руки, взял обе шкатулки и прижал их к груди.

– Ну, не скучай, – девушка вскочила на подоконник.

Тот в ответ мигнул обоими глазами и спросил:

– А чем отличается "бояться" и "опасаться"? Когда опасаешься, то страха нет?

"Да, пора бы уже внести в этот вопрос ясность, – подумала Мари. – Хотя бы для себя".

– Страх все равно есть. Но… как бы это сказать… О! Когда боишься, страх сильнее тебя, а когда опасаешься, ты сильнее его. Понятно?

Мальчик кивнул.

– Тогда… ого! Уже полдвенадцатого! Пора тебе спать. Да и мне пора.

– А ты не боишься по улицам ночью ходить одна?

– Нет. Но опасаюсь. Все, пока!

"Успеваю, – думала Мари, соскакивая с пожарной лестницы, – тут буквально десять минут. Если никто не будет отвлекать…" Естественно, ее тут же отвлекли. Где-то рядом кто-то хрюкал. Или сморкался. Или всхлипывал. Курсантка остановилась, медленно повернулась вокруг своей оси и определила направление на хрюканье-сморкание-всхлипывание – подъезд дома напротив.

"Еще один ребенок ночью на улице? Маловероятно. Кошка?"

Еще один всхлип. Теперь, несомненно, детский.

– Не ходи дотуда, красавка, – квакнуло рядом.

Из песочницы на Мари смотрела коричневая жаба с оранжевыми глазами.

– Не ходи, – сказала Драбаруха, – не треба. Беда буде.

И зарылась в песок.

"Будет беда… Значит, там действительно кошмар, может Омордень… а может кто и похуже… Значит, ребенок в страшной опасности!"

Мысль о страшной опасности достигла головы Мари в тот момент, когда ее тренированное тело достигло подъезда. Курсантка приоткрыла дверь и сразу успокоилась. К таким ситуациям она уже привыкла.

Маловероятный ребенок сидел на корточках под лестницей, а над ним нависал кошмар, одетый во что-то среднее между средневековыми латами и костюмом космонавта.

Мари пинком распахнула дверь и засветила в кошмар из мощного служебного фонаря.

– Фамилия! – гаркнула она. – Регистрация!

"Космонавт" подпрыгнул как теннисный шарик, оказался выше светового конуса и ушел в темный потолок.

Курсантка уменьшила яркость фонаря наполовину, подошла к шмыгающему носом мальчику, наклонилась:

– Что ты здесь делаешь, малыш?

Мальчик открыл рот и странным сдавленным голосом произнес нечто настолько дикое, что Мари оторопела:

– Жду одну девчонку, малышка.

И тут курсантка заметила вторую странность. На боках детской пижамы висели желтые рукавицы для ловли Хамелеона.

– Девчонку-девчоночку, – пропел ребенок и вцепился в руку Мари. – И знаешь кого? Тебя!

Лицо мальчика сморщилось, подернулось рябью, и превратилось в плоскую безглазую морду ложного Зубастого Человека. И тут же, не дав Мари и доли секунды, чтобы ужаснуться, ощерилось иголками и спицами. Детская ручка издала звякающий звук и до боли сжала кисть девушки.

Хвать! Вернувшийся "Космонавт" сгреб вторую руку.

Хлесть! Тонкая бечевка стянула лодыжки.

Мари попалась.

– Ну что, – хихикнул бывший ребенок, а теперь Хамелеон, принявший облик Колореза. – Понеслись?

Кошмары развернулись к самому темному углу под лестницей и ринулись сквозь стену, увлекая за собой Мари.

Во дворе Драбаруха горестно вздохнула и положила морду на край песочницы.

Мальчик Алекс прижал лоб к холодному оконному стеклу. Он видел, как амазонка Мари спустилась по пожарной лестнице. Видел, как она остановилась, повертелась на месте, а потом вошла… нет, ворвалась в подъезд.

И не вышла оттуда.

Глава 14
Партнеры

Не рой другому яму. Не делай чужую работу.

"Копать – не строить", антология

Тяжело в учении, говорите? Значит, в бою вообще копыта отбросим?

Здравая мысль старослужащего

Лейтенант О. сидел за столом в комнате дежурного и нюхал сигарету.

Он никогда не курил, даже когда был мальчишкой и ему не разрешали. Но нюхать сигареты лейтенанту нравилось. У него имелись любимые марки, которые пахли долго и нежно, и нелюбимые, которые вынюхивались за две секунды.

Сейчас на столе лежала почти пустая пачка нелюбимых. О. поводил сигаретой под длинным носом, не в такт покачал головой и выбросил сигарету в урну, где покоились нетронутые останки ее подружек.

Лейтенант О. тосковал. Высшая Школа Полиции во главе с руководством второй день отрабатывала где-то в поле учебный энергетический кризис. Рации и телефоны с собой не взяли даже офицеры, поскольку по условиям учений энергетический кризис охватил и батарейки с аккумуляторами. Сказали, в случае чего пришлют курьера.

То ли случай чего не наступил, то ли, наоборот, наступило такое чего, что и послать некого – но пока ни один гонец до лейтенанта не добрался.

Целый день оставшийся за старшего О. гонял дежурных по этажам… нет, он не гонялся за ними по этажам, а просто приходил и устраивал взбучку дежурным по этажам, но к ночи ему и это надоело. Тогда лейтенант несколько раз подряд проверил добросовестность несения службы на Посту № 1 – тщетно! Даже когда О. без единого шороха прополз по вентиляции и внезапно для себя вломился на территорию поста, Жанна все равно не спала!

В попытках удовлетворить служебное рвение лейтенант дошел до последней крайности – занялся наведением порядка в столе. Во втором ящике он нашел инфрамет индивидуальный.

"Завтра устрою тренировку для дежурных и дневальных, – подумал О. и взял техническую новинку в руки, – а то идем с научным прогрессом не в ногу. И строевой, кстати, не помешает заняться".

Он навел инфрамет на сейф и зачем-то нажал кнопку.

В сейфе забулькало. Лейтенант подпрыгнул на стуле, потом, держа инфрамет перед собой, нашарил в кармане ключи и осторожно открыл дверку.

Между книгой приема-сдачи дежурств и коробкой патронов сидела неправдоподобно большая коричневая жаба с хвостом и хихикала.

– Беда… – пробулькала жаба, – девка ваша… ой, не могу! Уволокли…

Самое поразительное, что огромное земноводное ничем не пахло.

"Жаба – это не к добру", – то ли вспомнил, то ли придумал О. Он закрыл глаза, захлопнул дверцу, досчитал до пяти, открыл глаза и снова заглянул в сейф. Книга приема-сдачи и коробка патронов.

Лейтенант выключил инфрамет и с подозрением осмотрел чудо-оружие. О побочных эффектах в виде дурацких галлюцинаций его не предупреждали.

Тут надо заметить, что лейтенанта вообще мало о чем предупреждали. Когда О. получал назначение на должность командира подразделения 11, он поинтересовался у директора ВШП, чем будут заниматься его подопечные.

– Чем-то таким, – сказал полковник и для наглядности повертел в воздухе пальцами. – Напиши, кстати, расписку о неразглашении.

– Неразглашении чего? – на всякий случай уточнил О., ставя незамысловатую подпись. – Я ведь ничего не знаю.

– И не надо тебе этого знать. Меньше знаешь – лучше спишь.

Так лейтенант О. сделался хранителем тайны, о которой не имел ни малейшего понятия. Но лучше спать от этого не стал.

"Может, прямо сейчас строевой заняться?" – подумал лейтенант, подбрасывая в руке инфрамет.

Но эти кровожадные планы, к счастью для дневальных, не осуществились. На пульте дежурного замигала лампочка КШП.

– Посыльный от замначальника Школы, – сдавленно доложил дежурный по КШП, – к вам.

– Пропустить, – сказал лейтенант, – и не спать у меня там!

Посыльный держал под мышкой скейтборд и смотрел хмуро. Запах от курсанта вполне мог подойти жабе, которая привиделась лейтенанту.

– Курсант Адам, третий курс! – с некоторой обидой доложил посыльный. – Прислан господином старшим майором узнать, не случилось ли чего.

– Все нормально, происшествий не случилось, – ответил О. – А у вас там еще долго?

– Два дня, если полковник не врет. – Курсант переступил с ноги на ногу. – Если врет, то дней пять. Завтра марш-бросок. А у вас это… срочного поручения для меня нет? По Школе?

– Свободен. Доложи господину старшему майору, что так мол и так…

Закончить мысль О. не успел: заголосил городской телефон. "Жизнь-то налаживается", – подумал лейтенант, поднимая трубку.

– Дежурный по ВШП слушает, – сказал он и нахмурился на посыльного.

– Здравствуйте! – сказала трубка голосом Мари. – Мне нужна курсант Мари!

Адам глазами показал, что ждет дальнейших приказаний, но не торопит господина лейтенанта.

– Кто? – не понял О. и махнул рукой Адаму: мол, давай, катись отсюда.

Посыльный с ненавистью посмотрел на скейтборд, отдал честь, но не вышел, а принялся что-то подкручивать в колесиках.

– Ну Мари! – крикнула невидимая Мари. – Курсант второго курса!

"Может, я все-таки уснул?" – подумал лейтенант и ущипнул себя за нос.

– А-а-а! – воскликнул он. – Вспомнил! Курсант Мари в увольнении, кажется, у сестры.

– Нет ее у меня, – всхлипнули в телефоне, – это я сестра. Меня Ирэн зовут. Она сначала пришла… а потом… потом… Мяу! Дина, уйди!

Слышать истерику голосом Мари, да еще сопровождаемую мяуканьем, ее отрядному командиру еще не доводилось. О. поднял брови, потом опустил, потом опять поднял.

– Так она все-таки к вам пришла? – спросил он, завершив зарядку для бровей.

– Да, но потом ушла!

– Ну все правильно, – сказал лейтенант, – я тоже так всегда делаю: сначала прихожу, а потом ухожу. А потом опять прихожу.

– А она не пришла! Она не могла не прийти, а вот не пришла! Уже час как! Она обещала! С ней что-то случилось!

– Девушка! – строго сказал О. – Ирэн! Мари себя в обиду не даст. Оплеух надавать может, а в обиду – ни за что. Так что давайте подождем до утра.

Успокоить сестру удалось не сразу. Она потребовала, чтобы лейтенант записал ее телефон и звонил если что. А также дал свой мобильный, чтобы она позвонила, если он не позвонит. Только после этого О. смог положить трубку.

Чтобы тут же ее поднять. На сей раз из городского управления звонил бывший однокурсник О. – лейтенант Р.

– Привет, – сказал он, – у тебя твои все на месте?

– Только наряд, остальные на маневрах.

– Далеко?

– День езды на велосипеде.

– Хорошо тебе. А есть у вас такая – курсант Мари?

– Нет. То есть есть. У нас такая есть, но сейчас ее нет. В увольнении.

– Так я и думал. Ну, пока. Извини, что побеспокоил.

– А чего звонил-то?

Трубка пару секунд помолчала.

– Да ерунда, – сказал Р., – позвонил какой-то пацан и заявил, что ваша курсантка вошла в подъезд и оттуда не вышла.

– И что? – не понял О.

– Вот и я говорю – и что? А он давай что-то лепетать про какой-то кошмар, которого курсантка прогнала, а кошмар будто бы ее за это в соседнем подъезде подкараулил.

Лейтенанту стало нехорошо.

– Вот и я говорю, – сказал однокурсник. – От этих компьютерных игр у детей крыша набекрень.

– Ага… – сказал О., – адресок этого пацана дай. Так, на всякий случай.

Записав адрес и положив трубку, лейтенант задумался. Сначала Ирэн, потом этот пацан… То есть нет, сначала жаба, которая что-то бормотала про "беду" с "девкой".

– Если я сплю, – сказал себе лейтенант, – или, скажем, сошел с ума, то за отлучку из школы мне ничего не будет. Если не сплю, то начальство еще два дня не вернется. Если полковник не врет. А если врет… В любом случае я ничем не рискую.

О. подумал и добавил:

– Да и пора бы мне хоть чем-нибудь рискнуть. А то скоро мхом покроюсь.

Лейтенант приободрился, выполнил команду "Кругом!" и обнаружил за спиной посыльного Адама. Курсант тут же уткнулся в колесики скейтборда, сделав вид, что не слышал, как старший по званию разговаривает сам с собой о странном.

– Сломал? – участливо спросил О.

Адам раскрыл было рот, но тут же его закрыл и помотал головой.

– Это хорошо, – сказал лейтенант. – А то за порчу казенного имущества сам знаешь… Дай-ка сюда.

– А как же я на маневры попаду? – испугался третьекурсник. – Пешком, что ли?

– Поговори мне еще, по-пластунски поползешь, – рассеянно ответил О., осматривая скейтборд. – Сгодится. Ладно, Адам, придумал я тебе… то есть нашлось для тебя срочное поручение. На время моего отсутствия назначаешься старшим по Школе. Чтобы дневальные не спали и все такое. И не спать мне тут!

– Ура! В смысле, слушаюсь, господин лейтенант! А вы куда?

– В больницу, – ответил лейтенант, – мне нужно.

Наказав на КПП не спать, а то головы пооткручивает, О. покинул территорию Школы.

На улице пахло сухими зелеными листьями.

А в подвале пахло мокрыми водопроводными трубами.

Впрочем, это было намного лучше, чем запах разреженного бетона, сопровождавший Мари во время самого неприятного путешествия ее жизни. В первый раз девушка видела бетон изнутри. Как только кошмары-похитители вонзались в стену, бетон вдруг превращался в сырую, серую и несладкую сахарную вату. Теперь курсантка хорошо понимала шефа, выпустившего из рук Хамелеона, – ощущения от полета в бетонной вате были такими отвратительными, что от них хотелось поскорее избавиться.

"А некоторые мечтают ходить сквозь стены, – подумала Мари. – И сахарную вату едят. Выживу – ни за что не возьму в рот ни кусочка сахарной ваты".

Подумала и непроизвольно сплюнула. А заодно и чихнула. И помотала головой – засохшие бетонные крошки забились и в рот, и в нос, и в уши.

– Жива пленница, – произнес немного гнусавый голос, – сие есть хорошо. Контракт не предусматривал иного поворота событий.

– Пока жива, – тявкнул кто-то в ответ. – Но это ненадолго!

Мари открыла глаза. Она находилась в довольно просторном подвале – насколько слово "просторный" подходит для описания замкнутых подземных помещений. Подвал явно принадлежал какой-то школе, не полицейской, к сожалению, а обычной, детской. Вдоль стен громоздились щербатые линейки, неправильные треугольники, гнутые указки, пробитые глобусы, треснувшие классные доски, увечные пластмассовые скелеты с проволочками между суставами и прочие наглядные пособия, уже показавшие все, на что были способны.

Обладатель гнусавого голоса стоял слева от курсантки. Закованный в черные латы, перехваченный на локтях, коленях и запястьях шипастыми железными полосами, с закрывающим лицо непроницаемым забралом, он, казалось, издавал лязг, даже не шевелясь. Сходство с гигантским трансформером усиливала странная конструкция на плече – то ли ножны, то ли направляющие для запуска ракет.

– Ненадолго, ненадолго! – второй похититель прыгал по школьному инвентарю в образе крупной ехидны.

Вообще-то Мари не очень хорошо представляла себе ехидн, но предполагала, что это должно быть что-то ехидное. Такой хитрый хорек, или, скорее, хитрая смесь енота с хорьком.

На полосатых боках предполагаемой ехидны желтели ловчие рукавицы Георга.

– Ненадолго, долго, до-о-олго! – ехидна соскочила на пол, оплывая в огромную каплю ртути красного цвета. – Вот придет хозяин и ску-у-ушает.

Курсантка пошевелила руками. Не шевелятся. Ее очень надежно, без вариантов привязали к изгибу водопроводной трубы. Оставались ноги… нет, ноги по-прежнему были привязаны, не к трубе, правда, друг к другу, но все равно – дотянуться пальцами ног до пальцев рук Мари сможет, но развязать веревку ботинками – нет.

– Скушает? – черный рьщарь задышал а-ля Дарт Вейдер, громко и с хрипом. – Человекоедство? Я, Мигель де Бристан фон Крюнге дель Антуан Мария…

– Давай лучше просто Мария, – хихикнул ртутный Хамелеон, – или Мари-Страшная. Чтобы с Мари-Хорошенькой не путать. А то хозяин не разберется да не того зажует.

Говорила красная ртуть пузырьками, вспухавшими на ее поверхности, так что "Мари-Хорошенькая" могла без труда видеть слова, произносимые Хамелеоном, Особого удовольствия пленнице это не доставило: слова коварного кошмара выглядели крайне неприятно.

Мари перевела взгляд на серый некрашенный потолок.

Георг отвел глаза от белого крашеного потолка. Свет был выключен, поэтому больничный потолок казался серым и некрашенным, наводя на мысли о мрачных подвалах, заполненных ужасными тварями.

Полицейский не мог уснуть. Он отлично выспался днем, особенно после укольчиков – пухлая медсестра не пожадничала, вколов Георгу сразу три ампулы. Но на закате многолетняя привычка заставила инспектора проснуться и несколько минут шарить вокруг себя руками в поисках мундира и пистолета. Ничего не было и ничего не нужно было. Не нужно было одеваться и отправляться ловить кошмарных преступников. Не нужно было отправляться ловить кошмарных преступников, не одевшись. Можно было вообще не одеваться.

"Может, – подумал полицейский, – они сами придут, раз я к ним не могу?" После двух часов рассматривания потолка эта мысль показалась здравой. Георг начал прислушиваться и вскоре уловил довольно перспективные звуки. Полицейский приподнялся на подушках и повеселел: в коридоре кто-то угрожал дежурной сестре, а та слабо сопротивлялась. К тому времени, как ее голос затих окончательно, Георг уже был во всеоружии. Всеоружие состояло из взятой наизготовку больничной утки и приведенного в боевое состояние костыля.

"Маловато", – решил полицейский, подтянул к себе стул и ухватился за его спинку поудобней. Дверь палаты с тягучим звуком открылась, и в дверном проеме возник темный силуэт с длинной продолговатой головой.

"Головолом", – с ходу определил породу пришлого кошмара Георг и, в последний момент передумав, метнул в идеальную мишень не стул, а утку.

Утка стукнулась о деревянную голову Головолома и зазвенела по паркету.

– О, – сказал кошмар человеческим голосом.

Голос показался знакомым, поэтому Георг не произвел добивание костылем, хотя первоначально собирался.

– Ты кто? – спросил он.

– О., – повторил Головолом. – Лейтенант из ВШП.

Георг щелкнул выключателем ночника. В дверях действительно стоял лейтенант из Высшей Школы Полиции. Инструктор видел его в тот прекрасный… а может, ужасный… в общем, в тот незабываемый день, когда в его распоряжение поступила курсант Мари. И которая в похожей ситуации тоже приняла полицейского за кошмар, но с куда большим успехом.

Перед собой О. держал скейтборд, который Георг в темноте принял за продолговатую голову Головолома и который отразил атаку больничной утки.

"Предусмотрительный", – недобро подумал инструктор и нахмурился. Если лейтенант взял с собой доску на колесиках, заранее предвидя, что подвергнется нападению пациента, значит, репутация Георга стала совсем скверной. Точнее, его скверная репутация стала известна даже школьным лейтенантам.

– А это ты зачем принес?

– Для быстроты передвижения. На одной ноге вы далеко не ускачете, но если стать на скейтборд и начать отталкиваться костылем, то можно и далеко.

Полицейские помолчали. Инструктор обдумывал слова лейтенанта. Лейтенант пытался припомнить пример из истории, подтверждающий уместность затеи со скейтбордом. Оба не достигли успеха в своем нелегком деле.

– А мне нужно куда-то скакать? – наконец осведомился Георг. – Далеко?

– Ну… вам виднее, – смутился О. – Дело в том, что, кажется, у Мари неприятности. Возможно. Я не уверен. Сейчас я вам расскажу все, что мне известно, а вы…

– По дороге расскажешь! – Георг уже рвал шнуры, удерживающие его загипсованную ногу. – Черт! Не распутываются!

Веревка не распутывалась. Мари удалось вывернуть пальцы так, что они могли тянуть и дергать узел, но тот был словно выточен из камня. Утешало лишь то, что похитители не замечали попыток девушки освободиться.

– Низкородный подлец! – ревел черный Мигель де Бристан, хватая железной перчаткой ртутную каплю. – По контракту нет никакого человекоедства! По контракту…

– По контракту ты, наемник, должен сдать девчонку хозяину! И на этом твой контракт кончается! – уже не булькал, а плевался паром Хамелеон, четырьмя жирными струями вытекая из пальцев рьщаря. – А что там будет потом, праздничный ужин или песни-пляски, тебя не касается!

Наемник замер, как будто внезапно заржавел. Потом сделал шаг назад и отвернулся.

Мари стало тоскливо. Надежда на то, что благородный Черный Рьщарь, узнав о черных планах своих нанимателей, вытащит меч (желательно черный) и спасет юную красавицу, разбилась о товарно-денежные отношения, закрепленные в контракте. Пришло время решительно вмешаться в нежелательный ход событий. Но только решительно, чтобы сразу показать, кто есть кто…

– Что ж… – пискнула девушка, облизала губы и уже почти нормальным голосом сказала: – Что ж твой хозяин меня сразу не съел?

–Заговорила! – обрадовался Хамелеон, превращаясь в великанскую креветку. – Чего не съел? Ты не поверишь. Запах не понравился.

– Запах? – курсантка так удивилась, что на миг далее перестала помнить о пасти Омордня.

– Ну эта твоя лаванда или что там у тебя.

"Духи! – сообразила девушка. – Ну, сестренка, буду должна! А я-то думала…"

Мари закусила губу. Ничего хорошего в этой новости не было. Она-то думала, что сбила с толку Омордня дурацкими вопросами про укропчик и сможет применить похожий приемчик снова. А раз монстра отпугнул запах духов, то как только он выветрится…

Словно прочитав ее мысли, Хамелеон отрастил себе огромный хобот и обнюхал Мари.

– Кажется, годится, – заключил он, – пойду доложу. Нет, не пойду. Сперва скажи, как снимаются эти гадские варежки. Бока чешутся, сил нет.

– Они тебе идут, – сказала курсантка. – А не нравится – пусть Мигель оторвет. Вместе с боками.

Хамелеон озадаченно пошевелил креветочными лапками и перетек в костлявого птеродактиля.

– Правильно! – птицеящер мелко захихикал. – Тут же есть профессионал. Профессионал! Эй! Как там тебя? Мигель-трам-пам-пам! Иди сюда, дело есть. Не в службу, а во исполнение контракта!

Рьщарь не шелохнулся.

– Эй! По контракту мы с тобой партнеры, забыл?

Мигель сделал два огромных шага и, не глядя, щелкнул фиксаторами. Перчатки шмякнулись оземь. Наемник сложил руки на груди – как будто задвинул стальные засовы на дверях бронированного ангара. Хамелеон почесал бока, довольно посмотрел на мрачного партнера, превратился в бабочку с зубами и улыбнулся Мари:

– Видишь? Никакой гибкости ума. В средние века был о-го-го, а сейчас уже никого не пугает. Устарел морально и визуально, а чтобы измениться – ни в какую. Ну, я пошел, побежал, поскакал…

– А разве, – спросила девушка, – он может меняться так, как ты?

По правде говоря, Мари не было никакого дела, может Рьщарь Ужасного Образа так, как Хамелеон, или нет. Ее положение не располагало к естественнонаучным изысканиям. Но узел веревки как будто начал поддаваться, и каждая минута задержки Омордня увеличивала ее шансы… ну хотя бы шансы умереть с гордо развязанными руками.

– Он? Как я? Шутишь?

И Хамелеон устроил пленнице блиц-презентацию своих изменчивых возможностей. В пять секунд он принял форму кувшина с подвижным горлом, ядовитой морской звезды, колючего как еж куста и зловещего старикана.

– Доблестный муж должен блюсти честь и форму, – сказал Мигель.

– А я не муж, – хохотнул Хамелеон, – я принципиальный холостяк! Вот такой, например.

Он помутнел, расплавился и вырос во второго наемника. По доспехам стекала бурая слизь, а благородные боевые выступы изменились на кровавые раны.

– Да, – согласилась Мари, – так гораздо лучше. То есть хуже. То есть эффектнее.

– Слышишь, чучело? – более эффектный наемник обратился к менее эффектному. – Даже незаинтересованный человек тебе говорит…

– Незаинтересованный? – скучным голосом спросил Мигель.

Хамелеон наморщил шлем, обернулся трехметровым скорпионом и медленно повернул рогатую башку к пленнице.

– Ай-ай, – прошипел он. – А человечек-то очень даже заинтересованный. Хитрим, да? Время тянем? Ну, подожди-подожди, недолго осталось. Недолго!

Скорпион-Хамелеон сделал полукруг, разбросав школьный инвентарь, и с грохотом вбежал в темноту дальней стены.

Глава 15
Обстоятельство неодолимой силы

– Нужно вести себя разумно.

– Потому что глупых съедают, а умных нет?

– Нет. Просто глупых съедают первыми.

Диалог, подходящий любому фильму ужасов

Да пребудет с тобой Сила! Ума не надо.

Полный текст "Прощания джедая"

Мотоцикл с грохотом выехал из темноты подворотни во двор. Лейтенант О. заглушил мотор и принюхался.

– Вот здесь, – сказал он. – Из этого дома звонили.

О. почувствовал на затылке исполненный глухой ненависти взгляд, но не оглянулся.

Лейтенант уже несколько раз объяснял инструктору, что в эту ночь он побил все личные рекорды скорости, за что несколько раз был чуть не побит костылем.

К счастью, костыли лежали в коляске, а старший инспектор ехал на скейтборде, цепляясь обеими руками за номерной знак мотоцикла. Влезть в коляску либо устроиться на заднем сидении с загипсованной левой ногой не представлялось возможным, и лейтенант предложил Георгу на выбор: поехать на скейтборде или сесть на сидение задом наперед.

Георг сделал неправильный выбор и поэтому очень сердился на О., угрожая оторвать тому голову. Голову лейтенант терять не хотел. На голове находился нос.

Пика напряженности отношения достигли возле офиса Георга. О. никак не мог понять, что "ракетницы лежат в тумбочке слева от шкафа, но не того шкафа, что перед сейфом, а того, что за этажеркой, да не этажеркой справа от стола! а этажеркой слева, если смотреть от третьего стула у стены справа! да нет же, справа не от входа! справа от тумбочки с ракетницами, тупица!"

Хотя О. безропотно сносил все простые и ясные распоряжения Георга и действовал с максимально доступной скоростью, причин такой спешки он не понимал. Лейтенант верил в Мари. Он искренне полагал, что чем больше времени курсантка проведет в логове похитителей, тем меньше останется у похитителей шансов выбраться оттуда подобру-поздорову.

Но теперь, когда руки Георга снова оказались свободны, шансы О. на добро и здоровье резко упали.

– Придется будить мальчика, – торопливо произнес он. – А сначала его родителей. Подождите-ка…

– Жду, – с ангельским терпением ответил инструктор. Наверное, именно такое терпение проявляют ангелы, сжимая в руках карающий меч и дослушивая исповедь заядлого грешника.

– Там наверху вроде кто-то руками машет. Наверное, это он, тот мальчик. Или не тот?

– Тот. Вряд ли в этом доме живут сразу два ненормальных мальчика.

О. повеселел и направился к пожарной лестнице.

Мальчик оказался явно тот, потому что лейтенант беседовал с ним долго и оживленно. Похоже, О. в чем-то убеждал юного собеседника, а тот возражал. Потом лейтенант успокоился, принял из окна некий предмет, сунул его за пазуху и стал спускаться.

– Ну? – сдавленно крикнул Георг, не дожидаясь, когда О. доберется до самого низа. – Это была она?

– Там странное дело, – лейтенант спрыгнул и принялся отряхиваться, – пахнет вроде как Мари, но основной тон не ее. Лаванда и жасмин – я такого от нее никогда не слышал…

– А пацан что говорит?

– Еще непонятнее. Он говорит, что они с амазонкой сделали засаду на чудище. Причем Алекс…

– Кто?!

– Ну мальчишка этот… был Барривом, а я говорю, что так быть не может. Потому что Баррив никогда не участвует в битве, он только сопровождает от уровня к уровню, а Алекс…

Лейтенант столкнулся взглядом с Георгом и осекся.

– Это из "Дьябло"… – пояснил О. и смутился еще больше.

– Понятно, – инспектор перехватил костыль половчее для удара по нерадивому помощнику.

– Алекс дал мне, – торопливо добавил лейтенант, – одну вещицу, которую ему оставила амазонка.

О. достал из-за пазухи китайскую музыкальную шкатулку.

– Это Мари, – сказал Георг, – точно она. Где на нее напали?

– Сейчас покажу, – ответил лейтенант и снова полез на лестницу.

– А что, снизу не видно?

– Видно. Но я обещал вернуть эту штуковину Алексу. Представляете, он думает, что такие шкатулки помогают спастись от кошмаров. Вот дурачок, правда?

Инструктор неимоверным усилием воли не запустил костылем в спину О.

"Зачем костыль? – подумал он. – У меня же есть пистолет".

И в этот судьбоносный для школьного лейтенанта миг зазвонил мобильный телефон, пристегнутый к рулю мотоцикла. Рождественская мелодия звонка неожиданно привела Георга в умиротворенное состояние. Какой костыль или пистолет, что вы! Хорошо подготовленная, продуманная, неторопливая мучительная смерть – вот что теперь ждало медлительного лейтенанта.

– Ответьте, пожалуйста! – крикнул О., уже добравшийся (ну надо же!) до середины лестницы. – Это, наверное, меня.

Мобильник затих, но через несколько секунд зазвонил снова.

Мобильник на поясе Мари пикнул и отключился. Упорные поиски сети из подвала доконали-таки аккумулятор. Наемник глянул на девушку, но с места не сдвинулся. И то – какая польза связанной пленнице от севшего мобильника?

"Ну, амазонка Мари, – спросила себя курсантка, – что ты сейчас делаешь: боишься или опасаешься? Как ты там ребенка учила? Когда боишься, страх сильнее тебя, а когда опасаешься, ты сильнее его? Ну и кто сейчас кого?"

Если объективно, сильнее всех были узлы. Девушка растеребила первый узел, но попытка потянуть за свободный конец привела к тому, что второй затянулся еще туже, до резкой боли в запястьях. Мари чуть не вскрикнула, сообразив наконец, почему наемный кошмар "не замечает" ее попыток освободиться.

"Ладно, попробуем метод пряника".

– В левом внутреннем кармане у меня лежит шоколадка, – сказала она.

– Не ем сладкого, – сказал ужас. – Но за предложение спасибо. Хорошая попытка.

"Ну почему, почему, почему он не ест сладкого?! – чуть не запаниковала Мари, но взяла себя в руки. С трудом взяла, надо признать, руки-то по-прежнему оставались связанными. – Попробуем метод… другого пряника".

– Я вижу, – сказала она, – вы человек… то есть кошмар благородный.

– Мои принципы, – гнусаво отозвался рьщарь, – это единственное, что у меня осталось.

– Как же вы можете держать в плену, в темнице, беззащитную девушку? Где же ваше благородство?

Мари ждала долгого, прочувствованного монолога о моральных терзаниях, но принципиальный кошмар ответил коротко:

– Благородство благородством, а контракт контрактом.

– День рождения днем рождения, а служба службой.

Георг переложил телефон к правому уху, подставляя натруженное левое освежающему ночному ветерку. Вернувшийся к мотоциклу лейтенант О. сделал понимающее лицо, но, разглядев зверское лицо Георга, перевел выражение собственного лица в положение "Отсутствующее".

– Ирэн, да не беспокойтесь вы так… Что? А как?.. ну… не знаю… Как-нибудь иначе… Да, делаем все возможное… Да, сразу вам сообщим… Да, можете звонить в любое время…

– Спросите еще, что это за лаванда с жасмином, – не утерпел О., – может, она Мари каким-нибудь освежителем воздуха обрызгала?

Взрыв возмущения в трубке был таким сильным, что Георг отвел мобильник на расстояние вытянутой руки. А лейтенант отбежал на расстояние брошенного костыля.

– Да… да… обязательно… Я все понял… Да… обязательно передам.

Полицейский выключил мобильник и посмотрел на притаившегося за качелями О.

– Это были духи. Ирэн их Мари сегодня подарила.

– Она просила что-то мне передать? – спросил лейтенант издали.

– Ага, – ласково сказал Георг. – Подай костыль, передам.

"Шутит", – с облегчением понял О. Лейтенант подобрал костыль, приблизился к инструктору… И тут с ним случился повтор давешней галлюцинации. Из песочницы, кряхтя и посапывая, появилась здоровенная коричневая жаба. О. покосился на Георга. Судя по старшему инспектору, галлюцинация получилась массовой.

– Здорово, Драбаруха, – сказал полицейский жабе, – какими судьбами?

– И тебе не хворать, – отозвалась галлюцинация.

Лейтенант решил не удивляться. Возможно, ему привиделась не только огромная жаба, но и Георг, который с ней разговаривает. "В прошлый раз само прошло, – успокоил себя О., – и сейчас пройдет".

– Девку, небось, свою аукаете? Ну, это… ищете?

– Видела ее? – инспектор налег на костыль. – Где она?

Конструктивный разговор привел лейтенанта в чувство. "Почему бы не допросить галлюцинацию? – подумал он. – Тем более коллективную?"

– А вы сами где находились? – самым строгим голосом спросил О. – Чем можете подтвердить свое алиби?

Жаба только обиженно мигнула и продолжила беседу с Георгом.

– Я ей говорю: "Не ходи дотуда". Да разве ж ее отговоришь. А добрая дивчина, жалостливая. Старушку шоколадкой угостила.

Драбаруха принялась переводить взгляд выпуклых оранжевых глаз с Георга на О. и обратно.

– Что-нибудь сладкое, – произнес инструктор тем краем рта, который был ближе к лейтенанту.

Тот обшарил карманы и извлек пачку жвачки. Жаба одним движением длинного языка прибрала в рот пачку, глотнула и недоуменно замерла.

– Это не еда, – О. почувствовал себя виноватым. – Это жевательная резинка. Ее жевать нужно. Понемножку.

Драбаруха окончательно расстроилась и максимально отвернулась от лейтенанта.

– Двое ее уволокли, – сообщила она Георгу. – Один такой… всякий. То он такой, то эдакий.

– Хамелеон… А второй?

Жаба прерывисто вздохнула.

– Мигель. Я его Михасем кличу. Из бывших. В наемники подался, болезный…

– Нашел! – радостно закричал О. – Вот, возьмите, это "Чупа-чупс". Почти нетронутый. Его и сосать можно, и сразу есть.

Драбаруха с подозрением осмотрела леденец, который О. предусмотрительно развернул, и отправила "Чупа-чупс" за щеку. От этого речь ее стала менее внятной, зато морда немного повеселела.

– Там ее словили… чмок… – чудо-жаба мотнула головой в сторону ближайшего подъезда, – и в подпол… чмок… поволокли… воть…

– Подвал под домом, – Георг взмахнул костылем. – Лейтенант, ищите вход в подвал!

– Чмок, – сказала Драбаруха. – Не треба вам туда. Идите сразу… – она показала палочкой леденца в сторону, – …туда. За два квартала, где три люка во дворе, ведаешь? Ну вот… чмок… дотуда они девку вашу под землей доволокли. А куда потом – не видела, больно шибко бежали.

– Спасибо, матушка! – сказал Георг. – Вот бы все кошмары такими были!

– Тогда бы… чмок… ты и до меня добрался бы, – резонно возразила жаба и зарылась в песок.

– Кошмары, значит… – пробормотал лейтенант О., заводя мотоцикл. – То-то я смотрю, не пахнет ничем.

Георг похлопал напарника по плечу – рукой, не костылем.

– Лейтенант. По всему выходит, что Мари пока жива. Но если ты не перестанешь тормозить, ее непременно съедят.

– …меня непременно съедят, – завершила Мари.

– Это печально, – согласился наемник, – но у меня свои проблемы.

– Да, – согласилась девушка. – Вас никто не боится, поэтому вы пошли в наемники. Хотите об этом поговорить?

Курсантка никогда не думала, что это так неприятно – когда тебя рассматривает забрало.

– М-м-м… – наконец сказал Черный рьщарь. – Контракт не поощряет задушевные разговоры с объектом.

– Но ведь и не запрещает?

Ужас почесал шлем.

– Очень неприятный звук, – сказала Мари, – можете использовать для запугивания.

– Вы полагаете? – в глухом голосе Наемника послышалась надежда. – У меня есть шанс снова стать страшным?

– Уверена. И не обязательно для этого обливаться слизью. Мигель, попробуйте… э-э-э… энергичней работать голосом. Он у вас достаточно… впечатляющий.

– У-у-у! – взвыл рьщарь.

Мари прыснула. В другой ситуации девушка из вежливости сдержалась бы, но сейчас она не могла отказать себе в удовольствии испытать еще какое-нибудь чувство, кроме отчаяния.

– Извините, – сказала она, – так не годится. Так похоже на неисправность в водопроводе. Попытайтесь сказать что-то шепотом.

Наемник пожал латами.

– Шепотом? Странная идея. Я всегда считал, что ужас внушает громовой голос! Громовой голос!

Муляжи скелетов затряслись и осыпались. Мари хмыкнула.

– Возможно, в средние века это работало, но после изобретения усилителей и тяжелого рока ваши децибелы только раздражают.

– Несчастная! – пуще прежнего взревел кошмар. – Как ты смеешь!

Теперь затрясся и начал осыпаться потолок. Девушка помотала головой – не столько вытряхнуть из волос очередную порцию бетонной крошки (прощай, прическа!), сколько унять звон в ушах.

– Так вы весь квартал разбудите. Соседи решат, что пьяный буянит, вызовут полицию и…

Курсантка и наемник одновременно издали звук, который лучше всего передает слово "Упс". В случае Мари "Упс" означал: "Ну когда ты будешь сначала думать, а потом говорить? Добровольная наставница ужасов! Нет, чтобы предложить ему крикнуть еще громче, глядишь – и вправду полиция бы приехала! Ну и не поделом ли тебя после этого съедят?".

Что означал "Упс" в переводе на мысли черного рыцаря, оставалось только догадываться. Глянув по сторонам и прислушавшись, Мигель повернулся к пленнице и поблагодарил ее кивком головы.

"Доверительные отношения с похитителями – первый шаг к спасению заложника, – невесело усмехнулась Мари, вспомнив соответствующую инструкцию. – Видимо, следующим шагом станет участие заложника в истреблении подоспевших на выручку правоохранительных органов".

– Вы правы, прекрасная пленница, – прогундосил кошмар. – Громкость перестала быть действенным оружием. Но все равно я не представляю, что нужно сказать шепотом, чтобы внушить страх.

– Побольше шипящих, – посоветовала девушка, – и свистящих.

– Шшшто нужжжно сссказззать шшшепотом шшштобы вшушшшить ссстраххх?

– Отлично! – обрадовалась Мари. – То, что надо…

Она только что придумала, как справиться с хитрым узлом. Вот только успеет ли она осуществить свою придумку раньше, чем чудовище ее съест?

Успеет ли она добежать до спальни родителей раньше, чем чудовище ее съест?

Девочка лежит в постели и в щелку между подрагивающими ресницами следит за чернотой перед собой.

Оно быстрое? Да, оно очень быстрое. Только скрипнула дверь шкафа, а оно – раз! – и уже сидело на стуле напротив кровати. Уже смотрело на нее.

"Беги, беги, беги!" – бьется в голове девочки внутренний голос.

"Лежи, лежи, лежи!" – захлебываясь, лепечет другой внутренний голос.

Но девочка точно знает: побежит она или останется лежать – ей не спастись.

Потому что первым делом чудовище забрало ее голос. Не внутренний, а настоящий, громкий, который услышали бы мама и папа. Оно выбросило вперед руку, с противным шелестом вытянувшуюся на три метра, сгребло воздух у нее надо ртом и забрало ее голос.

Все как ей сказали в классе.

Глаза слезятся, но взгляд от чудовища отводить нельзя. И закрывать глаза, даже на миг, нельзя. Потому что, если она перестанет смотреть, оно сразу бросится.

Шорох, дробный топот десятка сухих лап. Возле правого плеча чудовища вырастает голова огромного скорпиона.

– Хозяин, мы поймали ее, хозяин! И она уже почти не пахнет! Пойдем, хозяин!

Чудовище раздраженно ворчит, потом тяжело поднимается. Изъеденная злобой морда нависает над лицом девочки. Из приоткрытой пасти сквозит ледяной ветер, но девочка все равно не закрывает глаза.

– Сегодня мы не завершили, – клокочет в горле то ли свист, то ли хрип. – Но завтра нам никто не помешает. Ведь ты же никому не расскажешь наш секрет?

Девочка молчит. Чудовище ухмыляется и с невероятной скоростью отдергивается от кровати, как будто его рванули из шкафа за привязанный сзади трос,

– Постой, хозяин! – скорпион разворачивается так резко, что падает, и несколько мгновений сучит лапками по полу. – Меня подожди! Куда ты без меня?!

– Постой, лейтенант! Меня подожди! – крикнул Георг, изо всех сил орудуя костылями. – Куда ты без меня?!

Спина лейтенанта, не удостоив инструктора ответом, исчезла за поворотом. Полицейский остановился и покачал головой, разбросав по подвальным стенам капельки пота. После того, как О. после серии уточняющих вопросов в полной мере осознал серьезность ситуации ("Да, это не учебная тревога! – орал Георг. – Это вообще не тревога!"), его будто подменили. Сейчас командир подразделения 11, выставив чуткий нос наподобие щупа миноискателя, несся по подземным коммуникациям, как резвый олень. Точнее, как резвый подземный олень, со связкой отмычек в руках, которыми олень, то есть лейтенант вскрывал подвальные двери одну за другой.

"А способный парнишка, – решил Георг. – Может, к себе его взять? Будет за пивом бегать. А вот и он".

– Вы правы… – выдохнул лейтенант О. – Куда я без вас? Я же не знаю ничего… Давайте вместе.

"И соображает правильно, – зачел еще один условный балл потенциальному напарнику инструктор. – Медленно, но правильно".

Полицейский кивнул, и дальше они двинулись вместе.

– Кстати, а мы правильно идем? – через минуту спросил Георг, который никуда не шел, а висел на закорках О. – Тут целые катакомбы.

– Запах слабый, но еще держится, – сдавленно ответил лейтенант, перехватывая ноги старшего товарища поудобней.

– Хорошо. Только не тряси, – приказал Георг.

От возмущения О. хотел сбросить хромого со спины, но тот пояснил:

– Я ракетницы заряжаю. Мало ли что. Стой! Тихо. Слышишь?

Лейтенант задержал дыхание и действительно услышал вдалеке, в нескольких поворотах подземного коридора странные и зловещие звуки. А потом тихий, еле различимый… голос Мари!

– Что… что она говорит?

– Что говорит? – помрачневший Георг крепко ухватился за плечи О., заранее подготовившись к неизбежному ускорению. – Она говорит "Ужасно. Отвратительно".

– Ужасно! Отвратительно! – Мари уже почти справилась с узлами.

Рьщарь прекратил замогильно мычать.

– Надеюсь, юная синьора, вы это говорите не из стремления мне угодить?

– А смысл, Мигель? У вас же контракт.

Кошмар помрачнел.

– Контракт… Проклятье! Клянусь сводами инквизиции, Мари, я сожалею. Но слово воина превыше всего. Я скорее погибну, чем нарушу подписанное мной соглашение.

– Я погибну скорее, – деловито напомнила курсантка.

С узлами было покончено. Теперь она просто прижимала веревку пальцами к запястьям, пытаясь сообразить, что же ей делать дальше.

Мигель де Бристан фон Крюнге дель Антуан Мария И Наверняка Как-то Там Еще склонил голову, задумавшись. И тут же приподнял ее, прислушиваясь. Потом повернулся к Мари и извлек из странной конструкции на плече кинжал.

– Ну? – сказала девушка через долгих две секунды.

– Пункт 5.5.1, – произнес рыцарь. – "Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке как Нанимателем, так и Исполнителем в случае форс-мажора или обстоятельств неодолимой силы, наступление которых невозможно ни предугадать, ни предотвратить".

Мигель взмахнул кинжалом, и веревка, на выпутывание из которой Мари затратила два часа, упала к ее ногам.

Рьщарь глянул на развязанные узлы, уважительно щелкнул забралом, сделал шаг назад и исчез в стене.

"О чем это он? – от удивления курсантка даже забыла обрадоваться. – Какое обстоятельство неодолимой силы? Какой форс-мажор? Где он его увидел?"

И тут она все увидела сама.

Дальняя стена раздалась, и в подвал ввалился Омордень. Увидел Мари, зарычал, растопырил ручищи, опрокинув вкатившегося следом Хамелеона в образе здоровенного мохнатого перекати-поля. Направился к девушке и вдруг встал, вытаращившись на что-то слева от пленницы. Мари повернула голову. Из-за угла выбежало еще одно чудовище. Новый кошмар был в образе отрядного лейтенанта О., но с двумя головами, четырьмя руками и торчащей из-под мышки загипсованной ногой.

Венчали неодолимость нового обстоятельства выставленные вперед два костыля и три ракетницы.

Да, такого предугадать не мог никто. Да и предотвратить, как выяснилось чуть позже.

– Всем стоять! – заорала вторая голова О. голосом Георга, на что Мари немедленно нагнулась к веревкам, стягивающим щиколотки. Ракеты, опасно свистнув у нее над головой, ослепительно ярко бабахнули тройным бабахом у дальней стены.

Мари освободила ноги и выпрямилась. Рьщарь-кошмар угадал. В подвале творился типичный форс-мажор.

Омордень исчез. Видимо, он тоже решил, что имеет дело с неодолимой силой. Хотя, признаем, обратиться в бегство – вполне естественная реакция любого, кто видит три осветительные ракеты и один костыль, летящие ему в голову. Не было видно и Хамелеона. Зато Георгов стало вдвое больше. Инспекторы катались по полу, стараясь задеть друг друга побольнее загипсованной ногой. Третий участник схватки – лейтенант О. – топтался в стороне и нерешительно принюхивался.

Мари подобрала желтые перчатки, натянула, подбежала к лейтенанту и… так, а кого хватать-то? Георг и Хамелеон выглядели совершенно одинаково и барахтались, несмотря на увечность, очень активно, подняв тучу пыли. О. снова сунул нос в гущу битвы и отпрянул, едва его не лишившись.

– Один из них должен не пахнуть, – пожаловался лейтенант, – это и будет… как его… кошмар. А они оба вывалялись и пахнут. Ой, Мари, ты жива! Ты как?

– Жива, – ответила курсантка, всматриваясь в Георгов. – Может, обоих повяжем, а потом разберемся?

– Не уйдешь, оборотень! – крикнул один Георг, хватая другого за горло.

– От оборотня слышу! – прохрипел другой Георг, пытаясь дотянуться до костыля.

Нет, повязать сразу обоих не получится. Чтобы кого-то повязать, его надо сначала оглушить, а если оглушишь не того? В смысле – того, Георга? Он Хамелеона выпустит, тот сразу и сбежит…

– Мари, – лейтенант сделал шаг в сторону, уходя от взмаха чьей-то загипсованной ноги. – А у вас с Георгом на этот случай, может, какие-нибудь пароли предусмотрены?

Курсантка укоризненно посмотрела на отрядного командира.

– Тогда не знаю, – сказал он. – Может, их водой облить?

– Ага, – кивнула Мари. – И электрошокером приложить. Кто выживет – тот и кошмар. Нет, надо брать обоих. Только как…

Тем временем Георги перешли к позиционной обороне. Они стояли на четвереньках, тяжело дышали и отплевывались.

– Чего стоите? – прохрипел Георг. – Хватайте мерзавца!

– Курсант Мари! – отозвался Георг. – Арестовать самозванца!

– Лейтенант! – не сдавался Георг. – Это же я, инструктор Георг! Хотите, скажу девичью фамилию моей матери?

– Не трогай маму! – из последних сил возмутился Георг. – Отродье!

Георги снова сцепились, но уже без былой экспрессии.

– Кажется, это надолго, – пробормотал лейтенант, хлопая себя по карманам, – а где же мои сигареты? Неужели забыл… А это что?

О. извлек из кармана инфрамет.

– Что же вы раньше-то! – закричала Мари. – Стреляйте по ним! Они впадут в уныние, перестанут драться, мы их обоих в мешок – и отнесем к Лео! Лео разберется!

Лейтенант не стал разбираться, что еще за Лео, а просто направил гуманное оружие на Георгов.

Инспекторы замерли. Потом один Георг, в полном соответствии с тактико-техническими характеристиками инфрамета, схватился за голову и начал тихонько выть. А второй схватился за живот и принялся противно хихикать.

– Горе мне, – стонал печальный Георг, – жизнь прожита, а что я успел? Смерть, где ты?

– Ой, не могу, – заливался Георг-веселый, – ой, помру от смеха!

"Надо же, – подумала Мари. – Как по-разному можно относиться к смерти".

– Ну конечно! – воскликнул О. – И что же я раньше-то! Та кошмарная жаба тоже от инфрамета смеялась! Значит, кто смеется – тот и гад!

Ложный Георг продолжал хихикать и пытался изменить форму, но формы получались одна нелепее другой. Одноногий жираф с мордой поросенка, одноногий верблюд с дюжиной горбов, одноногий кенгуру в вязаной шапочке. Каждая попытка вызывала у кошмара новый взрыв веселья. Зато настоящий Георг оплакивал неудачи недавнего спарринг-партнера, словно известие о гибели друга.

– Ну вот они и определились, – Мари расправила мешок, сделала шаг вперед, приостановилась. – Лейтенант, выключайте инфрамет, я за сегодня уже нагоревалась.

И набросила мешок на внезапно посерьезневшего кенгуру.

Глава 16

Белая стрела

Чистосердечное признание смягчает наказание, но укорачивает интригу.

А. Кристи

Смирно, уроды!

Из вступительного слова ректора Института Красоты и Доброты

– Ну что, – устало сказал полицейский, – будем отвечать?

– Будете, – сверкнул моноклем управляющий банком, – за все ответите. Требую адвоката. Нет, двух адвокатов! И чтобы первый не отвечал на вопросы без второго!

– Шутишь, значит? – с отвращением произнес Георг. – Совсем страх потерял?!

Управляющий перетек в тощего подростка и затрясся.

– Не бейте, дяденька! – взвыл он. – Все скажу! Мне травку Хромой приносит, я сам не торгую! Где Хромой живет, не знаю, но могу показать.

И правда, показал хромого, превратившись в пожилого полицейского с загипсованной ногой и угрюмой физиономией.

– Сейчас мы поговорим по-другому! – пробасила копия хромого Георга и транзитом через баритон перешла на дискант. – А сейчас еще другее. Вот так например, поговорим, поразгова-а-а-риваем…

Георг уронил голову на руки. Мари поморщилась. Лейтенант О. мужественно сдержал зевок. Лео зааплодировал.

– Вы только посмотрите! Какая антропоморфность!

Смотреть никто не стал. Сил уже не было на это смотреть. Допрос Хамелеона продолжался третий час. За это время Мари успела

сгонять к сестренке.

выслушать ее законную истерику.

пообещать больше никогда не нарушать обещания.

поклясться больше никогда не преступать клятв.

дать слово, что теперь-то она всегда будет держать слово.

принять душ.

вычистить мундир.

вручить дополнительный подарок – шесть китайских музыкальных отпугивателей кошмаров.

и наконец, разрешить Ирэн развернуть подарок основной.

Изящный хрустальный флакон с бледно-желтой жидкостью и тонким звонким ароматом.

Радость сестры достигла такой высоты визга, что Дина, прянув ушами, спряталась от греха под стул. Действительно хорошим подарком близняшки считали только тот, который дарящий хотел бы оставить себе. И два одинаковых подарка означали одно – сестры угадали с выбором на двести процентов.

С восходом солнца сестрички допили брют, доели торт, выгладили мундир и Дину, Мари уложила Ирэн спать, пообещала, поклялась, дала слово, что расскажет про свои ночные приключения, как только они закончатся, и помчалась обратно.

Могла бы и не спешить. Хамелеон только-только вошел во вкус.

А ведь когда лейтенант О. вытряхнул помятого кенгуру из мешка в кабинете Лео, тот ни во что не превращался. Лишь мелко дрожал и позыркивал по сторонам в поисках лазейки. Однако уяснив, что лазеек в помещении, стены, пол и потолок которого сплошь покрывают нити световодов, не предусмотрено, кошмар вдруг успокоился.

А потом освоился.

А к возвращению Мари уже куражился.

– По-раз-го-ва-ри-ва-ем, – в голосе ложного Георга зазвучал металл, а глаза вспыхнули 40-ваттными лампочками. – Ес-ли ба-та-рей-ки не ся-дут. Ба-та-рей-ки у-же ста-ры-е.

– Повторяетесь, господин Хамелеон, – сказала Мари. – Старшим инспектором Георгом вы уже были. Или личины кончились?

Фальшивый старший инспектор изобразил раскаяние и оплавился в продолговатый воздушный шарик розового цвета с грустным глазом посередине.

– Ты права, умненькая девочка, – просвистел шарик дырочкой, с которой свисала нитка. – Больше никаких старых злобных уродливых полицейских. Отныне… только… светлое… чистое… воздушное…

Воздух в шарике кончился, и он утомленной тряпочкой скромно склонился к полу, напрашиваясь на новые аплодисменты

– Придется прибегнуть к недокументированным методам, – глухо сказал Георг в стол.

Лео застыл, не успев завершить хлопок.

– Каким методам? – голос коллекционера задрожал. – Уж не имеете ли вы в виду…

– …методы, которые не заносятся в протокол и другие документы, – старший инспектор кивнул, поднял голову и кивнул уже с большим успехом, – но отлично помогают следствию.

– Пытки?! – возопил Лео.

Хамелеон торопливо раздулся до размеров небольшого дирижабля, по габаритам которого горели неугасимым гневом полтора десятка глаз.

– Именно. Лейтенант!

О. встрепенулся и вытащил инфрамет. Дирижабль прикинулся корявым человеком-пеньком с ветвистыми конечностями.

– Лейтенант! – взмолился Лео, заламывая руки.

– Это гуманная пытка, – не слишком уверено сказал О. и направил черный цилиндр на кошмар.

Пытка получилась даже слишком гуманная. Хамелеон хихикал, прыскал, приседал, подскакивал, хватался за бока (чтобы лучше хвататься, он отрастил себе три пары боков и шесть пар рук).

– Ой, не могу, ха-ха-ха, ой, хи-хи-хи, ой, щекотно!

Георг вяло махнул рукой. О. выключил инфрамет.

– Ох… – кошмар-пенек утер пальцами-листочками глазки-сучки, – Ну спасибо вам, добрые люди, потешили… Ну теперь все скажу, ничего не утаю… Чего знать-то хотели?

– Я хочу знать все, – полицейский с треском откинулся на спинку стула, – об ужасе по имени Омордень.

– Омордень… Омордень, – забормотал Хамелеон, – кажется, такой? Или такой? Нет скорее такой…

На месте пенька стали одна за другой возникать жуткие твари. Полицейские отшатнулись, инстинктивно хватаясь за оружие. Лео, наоборот, подался вперед и радостно взвизгнул:

– Минуточку! Не так быстро! Сейчас я возьму бумагу!

Коллекционер схватил со стола листок и выдернул из-за уха карандаш.

– Вы можете вернуться на два экземпляра назад? К тому, с рогами вместо глаз? Спасибо… Невероятно! Это же Вызверг Многомордый! Вымерший вид!

Зверюга, которая напоминала диплодока с сотней маленьких зубастых головок, торчавших на тонкой шее, словно початки кукурузы на стебле, встала на задние лапы и хором заревела.

– Феноменально! – Лео стремительно делал набросок. – А теперь, умоляю, в профиль, пожалуйста! Ах ты, моя прелесть!

– Э! – подал командный голос Георг. – Вообще-то у нас тут допрос.

– Да-да, – отозвался старичок, – обязательно! Вызверг… надо же… А еще какого-нибудь вымершего?

Хамелеон наклонил головастый стебель, задумавшись, и обернулся худой дамой в оборванном, с черными подпалинами, но аристократическом платье. На бледных впавших щеках дамы пылал болезненный румянец.

– Чума Ходячая! – ахнул Лео. – Ведущий кошмар XVI века! Головку чуть вправо, пожалуйста, да, вот так, плечико назад, бедро вперед, и не двигайтесь, я вас сейчас зарисую! Нет, я лучше вас сфотографирую!

– Только без вспышки, – жеманно сказала Чума Ходячая.

Георг посмотрел на Мари. Много чего было в этом взгляде: и сожаление о невозможности достать пистолет и прикончить коллекционера, и грусть по поводу невозможности отдать Мари приказ прикончить коллекционера, и тоска от невозможности прикончить коллекционера каким-либо другим способом… Девушка решила не углубляться в визуальный анализ проблем шефа, а

воспринять взгляд как руководство к действию. Для начала следовало прикончить… то есть нейтрализовать безумного старикашку.

– Лео, а вы в курсе, что ваше коллекционирование только что потеряло всякий смысл?

Коллекционер уронил фотоаппарат.

– Потрудитесь объяснить, – голос старичка дрогнул.

– Поскольку у вас теперь есть Хамелеон, который может принять облик любого кошмара, остальные экспонаты уже не нужны. И добывать новых больше незачем.

Видели вы когда-нибудь человека, главная мечта которого сбылась? Не просто сбылась, а внезапно сбылась? Дело всей жизни которого вдруг, ни с того ни с сего, оказалось завершенным? Если вы полагаете, что такой человек будет лучиться счастьем, то посмотрите на Лео. Посмотрите внимательно и запомните его таким. С большими круглыми глазами, широко открытым ртом, упавшими руками, согбенной спиной и шаркающей походкой, которой собиратель потерявшей смысл коллекции покинул кабинет с целью удавиться.

– Лейтенант, – скомандовал Георг, – ступайте за ним, проследите, чтобы не случилось худшего. Я имею в виду выпускание монстров из клеток. Продолжайте, курсант Мари.

Девушка повернулась к Чуме Ходячей.

– Хамелеон, а каким вы были раньше?

– Раньше? – удивилась болезнетворная аристократка. – В смысле, до того, как я был вот этим? Или этим? Или тем?…

– Нет, какой вы на самом деле?

Кошмар перестал жонглировать внешностью и задумался.

– Вот такой я… – Хамелеон неуверенно принял облик большой дубинки с маленькими ручками-дубиночками, – кажется…

– Кажется! – безжалостно подтвердил Георг. – Это не ты, это Котовал.

– Тогда вот…

– А это Переплох. А это Гигаланция. Ну а это вообще Тырехвать. Допрыгался, уважаемый? Себя не помнишь?

– Да нет же, нет! – запротестовал Хамелеон. – Я вспомню! Я… сейчас… Я, наверное…

"Пора", – решила Мари.

– Почему Омордень именно под той школой лежбище устроил?

– А где же еще… – рассеянно произнес кошмар, напряженно думающий о своем изначальном облике. – Место-то прикормленное…

– Прикормленное? – Мари глянула на инструктора, тот пожал плечами. – Кем прикормленное?

– Да теткой одной местной…

– Учительницей?

– Ну да… Ай! – спохватился Хамелеон и замахал хваткими кулачками. – Я ничего не говорил!

– Поздно! – провозгласил Георг с донельзя довольным видом. – Уже сказал! Начал колоться, теперь не отвертишься! Сейчас ты мне все выложишь – и что ел на завтрак, и что пил под липой, и что пел под гитару…

– Шеф, – заторопилась курсантка, – а давайте, пока вы будете все это выяснять, я прикормленное место осмотрю? Вдруг что?

– Давай, – милостиво разрешил шеф и направил настольную лампу на Хамелеона, от растерянности растерявшего все признаки Тырехватя, и теперь похожего на бесформенную амебу. – Итак, начнем с простого. С простейшего, если хочешь. Где ты был с восьми до одиннадцати?…

В школу над подвалом Мари пришла задолго до первого урока, но не первой. Ранние ученики уже носились по коридорам, оглашая их радостными воплями. Девушка двинулась вдоль стены, избегая столкновений с малышней и старательно прислушиваясь, – к чему, она не смогла бы сказать. Из дверей, открытых в еще пустые кабинеты, доносилась только тишина.

Мари увернулась от погони девочки с одним огромным бантом на голове за мальчиком со вторым огромным бантом в руке, миновала очередную дверь и остановилась. Что не так?

Дверь как дверь, так же, как и другие, открытая в пустой кабинет, откуда веяло точно такой же тишиной пустого помещения… Нет, не такой же! Другой тишиной.

Курсантка сделала шаг назад. Кабинет не был пуст. За партами неподвижно сидели три десятка первоклассников. Руки сложены перед собой, глаза опущены, рты закрыты.

Над чистой классной доской висела почетная грамота "Класс образцовой дисциплины".

"Это что, музей восковых фигур?" – оторопела Мари.

Девочка за крайней партой, с двумя хвостиками, перехваченными резинками разных цветов, покосилась на курсантку и тут же отвела глаза. Мари мысленно построила объемный план школы – да, подвал с Оморднем находился точно под этим кабинетом.

Она вошла. Класс четко, как тридцать дисциплинированных чертиков из табакерки, вскочил.

– Сядьте, пожалуйста, – попросила Мари.

Дети четко, по-военному, сели. "Нет, – подумала курсантка, – не как чертики. Как патроны в патронник". В патроннике пустовала всего одна ячейка – третья парта в ряду у окна.

Девушка тоже села – на краешек учительского стола.

– Здравствуйте, дети. А почему вы здесь сидите? Ведь до урока еще… – она глянула на часы, – 19 минут.

– Опаздывать нельзя, – сказал кто-то из учеников, кто – курсантка не увидела: кажется, губами никто не пошевелил.

"Опаздывать – это не дело", – согласилась Мари, но вслух спросила:

– А почему?

– Ну? – подбодрила она восковых первоклассников через две с половиной минуты. – Так почему нельзя? Что случится, если кто-нибудь опоздает? Учительница расстроится?

Класс из воскового превратился в меловой.

"Да, учительница расстроится, – подумала Мари. – И опоздавшего расстроит. Хорошо так расстроит, на целую ночь".

– Амазонка! Мари!

В кабинет вбежал Алекс. Вихрастый, всклокоченный, с горящими глазами. В руках мальчик держал китайскую музыкальную шкатулку. Класс отреагировал.

Теперь Мари знала, как выглядит изумленный музей восковых фигур.

– Алекс, ты чуть не опоздал, – прошептала девочка с разноцветными резинками.

Мальчик махнул рукой и повернулся к товарищам.

– Она была у меня сегодня ночью! Она победила чудовище! А потом попала в засаду, а потом… Мари, а что потом было?

– Ну, потом мы его еще раз победили, – скромно призналась девушка. – Осталось победить в третий раз, и дело сделано. Но для этого мне надо узнать… А зачем ты шкатулку принес? Думаешь, чудовище может днем вылезти?

– Нет, это не для меня. Это для Мари.

– Для Мари?

– Нет, не для тебя, для другой, маленькой Мари. Ее тоже Мари зовут, но она еще не такая смелая, как ты. Ее учительница тоже чудовищам показала, как и меня.

– Показала? – курсантка насторожилась. – Как показала?

Она посмотрела на класс. Дети начали оглядываться, один за другим, пока их взгляды не сошлись на худенькой светловолосой девочке за последней партой. Девочка, не отрываясь, смотрела вниз. На парту.

На парте была нарисована белая меловая стрела, острием показывающая точно на будущую блондинку.

– И что это значит? – спросила Мари. – Алекс?

Значило это вот что. Их учительница – не просто учительница. Их учительница – злая колдунья. ("Ведьма", – внесла ясность девочка с разноцветными резинками.) Если кто-нибудь опаздывает, разговаривает, не выучил урок, того учительница показывает чудовищам.

– Показывает? – курсантка подошла к парте Мари-маленькой. – Рисует такую стрелу?

Нет, стрелу никто не рисует. Учительница показывает провинившихся, оставляя их после уроков. Заставляет писать буквы, но это только для вида, а сама ходит вокруг и бормочет разные страшные слова. ("Вызывает монстров", – подсказала девочка с резинками.) А ночью на парте сама собой появляется стрела, которая показывает на заколдованного ученика. Чудовище видит ученика, запоминает его и приходит к нему домой ночью.

"Ну правильно, – подумала Мари. – Ужасы приходят к тому, кто уже чем-то напуган. Если человек не боится, ужасы его не видят. Учительница пугает ребенка, кошмары начинают его видеть, приходят и пугают еще сильней. Она действительно показывает детей кошмарам".

– Мари, – Курсантка присела рядом со своей маленькой тезкой. – Скажи, кто приходил к тебе этой ночью.

– Она не может, – нервно хихикнул с соседней парты крупный большеголовый мальчик, – у нее монстр голос забрал.

– Мари?

Девочка вцепилась в край парты и беззвучно зашевелила губами.

Мари нахмурилась. Она умела читать по губам, но не по таким трясущимся.

– Ты что, действительно думаешь, что у тебя украли голос? Может, у тебя просто в горле пересохло?

Девочка открыла рот и что-то просипела.

"Убью, – неожиданно легко подумала Мари. – Устрою этой организаторше образцовой дисциплины образцовую кончину".

Она положила на парту блокнот и карандаш.

– Тогда нарисуй.

Мари-маленькая осторожно взяла карандаш, подняла глаза на Мари-полицейского.

– Я знаю, что делаю, – сказала охотница за кошмарами. – Рисуй.

Девочка принялась быстро-быстро набрасывать в блокноте свой ночной кошмар. Рисовала она для своего возраста очень хорошо.

– А это кто? – спросила курсантка, когда на бумаге рядом с зубастой тушей Омордня появилась рогатая насекомоподобная голова. – А, поняла… Потом пришел еще один, сказал, что они кое-кого поймали, и твой монстр ушел. Мари, монстр сказал, что придет снова?

Девочка отчаянно закивала.

– Вот, – сказал Алекс, ставя на парту шкатулку. – Это тебе. Они этого боятся.

– Скорее не любят, – поправила Мари, пряча блокнот, – Сегодня ночью у нашего ночного гостя будут проблемы посерьезней… но шкатулка тоже не помешает. Спасибо тебе, Алекс, ты настоящий Баррив. А теперь, Мари, я верну твой голос. Вот этой живой водой.

Девушка достала флягу с холодным чаем и плеснула на парту. Потом рукавом стерла меловую стрелу. Протянула флягу маленькой Мари.

– Пей. Три глотка.

Девочка жадно припала к живой воде. Похоже, у нее пересохло не только горло, но и все внутренние органы.

– Все, дорогая, – курсантка забрала флягу, – твой голос к тебе вернулся. Только я забыла, как тебя зовут. Элен? Анна? Жанна?

– Мари, – пискнула девочка и удивленно захлопала ресницами. Класс восторженно охнул.

И подавился оханьем под механическую трель звонка.

Мари медленно повернулась. Возле доски стояла настоящая злая колдунья. Нет, никаких фиолетовых балахонов, остроконечных шляп и гирлянд из сушеных лягушек. Строгий учительский костюм, скучная, но безупречная прическа, легкий намек на косметику на лице. Но само лицо…

Лицо классной дамы состояло из комбинации знаков препинания и арифметических знаков. Рот представлял собой знак минус. Нос торчал вопросительным знаком из предложения "А почему это вы до сих пор не в тюрьме?". Уши напоминали две скобки, за пределами которых не могло существовать ничего хорошего. И глаза, каждый, как точка, которую ставят в конце страшной истории.

– Что здесь происходит?

Голос соответствовал лицу. Любой, к кому обратились бы этим голосом, сразу почувствовал бы себя нашкодившим щенком. Девушка с огромным трудом, только благодаря накопившейся злости, удержалась от того, чтобы не начать оправдываться.

– Курсант Мари. Мне необходимо с вами поговорить, – сказала она, мысленно передернув затвор пистолета, который, к сожалению (а для кое-кого – к счастью), не висел у нее на поясе, а лежал в оружейной комнате ВШП. – Немедленно.

– У меня урок…

– Немедленно, – повторила Мари.

Видно, учительница не привыкла к таким разговорам в ее классе. Она взяла с доски влажную тряпку, повертела в руках, бросила обратно.

– Хорошо. Пять минут. Класс! Задание. Быстро и красиво написать букву "А". 50 раз. Пойдемте… курсант Мари.

В коридоре учительница представилась, отчетливо проговорив каждую букву, но девушка уже выбрала ей имя – Карга. Ей было легче думать, что в кошмар жизнь тридцати детей превратила Карга, а не человек с нормальным человеческим именем.

– Теперь говорите, – приказала Карга, долгим рентгеновским взглядом изучив курсантку от макушки (неодобрительная гримаса по поводу модной прически) до пяток (снисходительное хмыканье по поводу ослепительно начищенных форменных ботинок).

На первые слова Мари Карга сузила глаза, но удержала язвительный комментарий в плотно сжатых губах. Через минуту ее глаза расширились, через две она начала ходить – три шага влево, разворот, три шага вправо, – не глядя на курсантку.

Когда Мари закончила, учительница долго молчала, кривя минус рта.

– Итак, они существуют, – то ли спросила, то ли резюмировала она наконец.

– Да, – то ли ответила, то ли подтвердила девушка.

– Я вам верю, – сказала Карга.

"Оказывается, я могу быть очень убедительной", – подумала Мари, чувствуя, как ее злость опадает.

– Это существенно изменяет ситуацию, – продолжила учительница. – Да, я использовала некоторые виды фобии в педагогических целях. Но… знаете ли… это было так эффективно. Вы когда-нибудь пробовали в течение получаса удержать на месте тридцать неуправляемых существ?

В голосе Карги впервые послышались отголоски эмоции, только Мари не уловила, какой.

– В конце концов, – добавила учительница, – кошмары ведь никого не едят на самом деле. Почти никогда… Согласитесь, все родители пугают детей, чтобы они хорошо себя вели!

– Не все, – возразила Мари. – И вы зашли слишком далеко. Эти стрелы на партах…

– Стрелы? – рот Карги дернулся. – Какие еще стрелы?

– Дети думают, что стрелы появляются после того, как вы покажете ребенка кошмару.

– Кто-то из старшеклассников развлекается. Кого-то, наверное, веселят мои испуганные дети.

– Но теперь вы все исправите, – с напором произнесла Мари.

– Я… учту предоставленную вами информацию.

– Учтите. До свиданья… И еще учтите, что я к вам загляну через недельку, – сказала девушка.

А сама подумала: "Через три дня загляну".

– Конечно, заходите, присутствие полиции помогает поддерживать дисциплину.

"Нет, – решила Мари, – через два".

Когда курсантка вышла, учительница улыбнулась.

Медленно, с удовольствием.

И вошла в класс.

Ученики затихли и застыли – руки сложены перед собой, взгляды опущены, рты на замке. В тридцати раскрытых тетрадях написаны полторы тысячи букв "А". Все как должно быть… но они не сели тихо заранее. Они болтали перед тем, как она вошла! Они шевелились. И эти клопы рассказали полиции про ее белые стрелы!

Но она все исправит. Полицейская дурочка, которая думает, что открыла ей глаза, придет через неделю? Пусть приходит. Ей хватит одного дня, чтобы все исправить. Ей и тому, кто спит в подвале под школой.

Она им всем покажет. Она их всех очень хорошо покажет.

– Ну что… дети. Полагаю, пришло время преподать вам настоящий урок.

Вернувшись в дом коллекционера, Мари застала лейтенанта О. спящим у двери допросного кабинета. Командир подразделения 11 устроился по-домашнему, вытащив в коридор пухлое зеленое кресло. Но спалось ему, несмотря на удобства, неважно: лейтенант вздрагивал, дергался и от чего-то отмахивался. Видимо, его донимали кошмары. Возможно, именно те, что сидели в клетках за стеной.

Курсантка осторожно скользнула мимо командира, но тот выбросил вперед руку и схватил девушку за запястье.

– Беги, Мари, – пробормотал О., – спасайся. Я их задержу.

Мари подергала руку. Лейтенант держал крепко.

– Как же я побегу, – сказала курсантка, – если вы меня держите? Вы лучше их держите.

О. открыл глаза.

– Кого?

– Ну кого вы там собирались задержать.

Лейтенант принюхался и проснулся.

– Я уснул? – огорчился он. – Как же так?

– Такое бывает, – утешила его Мари. – Люди иногда спят, знаете ли. Как тут Лео? Худшего не случилось?

– Трудно сказать, – произнес О., поразмыслив. – Но вешаться он передумал. Я подсказал ему новый смысл жизни.

– Вот это да! – восхитилась девушка. – В чем будет его новый смысл?

– Сменить коллекционирование на селекционирование. Вывести породу социально ориентированных ужасов.

– Как это?

– Чтобы пугали только преступников. Ну и тех, кто замыслил преступление. Захочет чиновник взять взятку, а к нему ночью какая-нибудь морда – прыг! И тому уже не до взяток.

– И правда, какие уж тут взятки, – согласилась Мари. – А что Хамелеон?

– Дает показания.

– Правдивые?

– В лицах.

Девушка открыла дверь. Взмокший старший инспектор Георг допрашивал курсантку Мари. Курсантка заламывала связанные руки и безутешно плакала.

– Будет врать-то! – возмутилась Мари-настоящая. – Во-первых, руки у меня были привязаны к трубе…

Ложная курсантка слегка подернулась рябью, и к ее рукам оказалась привязана небольшая медная труба из духового оркестра.

Хамелеон прижал трубу к губам и выдал трогательную руладу.

– Ага, – сказала Мари. – Так все и было. А к ногам были привязаны тамбурины, я ими ритм отбивала.

– Скучно с вами, – сказал Хамелеон. – Вы слишком однообразные. А ведь небольшая пластическая операция – и из тебя выйдет вот что. Показываю.

Показательная Мари томно улыбнулась и перетекла в девушку… нет, не 90-60-90. 120-30-120.

– Ты там поосторожнее, – сказала курсантка, – а то я посередине переломлюсь.

Георг вытер пот.

– Намаялся я с ним. Вроде правду говорит, но с такими художественными излишествами… Сменишь меня?

– А уже не нужны нам его излишества. Я точно знаю, к кому этой ночью придет Омордень.

Мари вытащила блокнот и зачитала адрес Мари-маленькой, который она взяла в школьной канцелярии.

Георг цепко глянул на Хамелеона, который перестал изображать улучшенную Мари и снова превратился в Колореза. Похоже, облик металлического уродца был его любимым.

– Правильно, – неохотно сказал кошмар, разглядывая уцелевшую медную трубу. – Там он был прошлой ночью и снова туда заявится.

– Молодец, Мари! – просиял Георг.

– Молодец, – кисло подтвердил Хамелеон. – А ведь еще чуть-чуть, и видали бы вы его, как мои уши.

Старший инспектор внимательно осмотрел Хамелеона, ушей не обнаружил и строго спросил:

– Ты о чем?

– Последнюю ночь он гастролирует. А потом снова заляжет. Куда – не имею ни малейшего понятия.

И кошмар протрубил сигнал, полный безнадежного недоумения.

Объект **№ 788**

ДРАБДРУХА

Вид: **ошеломитель.**

Малоподвижная, толерантная. Излюбленный метод воздействия – многозначительное молчание, сопровождаемое постепенный открыванием рта.

Ареал преимущественного обитания (место лежки): **болотистые местности в спокойных странах, кадки с рассолом.**

Способ нейтрализации: **осушение ареалов преимущественного обитания.**

Количество поимок: **5**

Число невинно убиенных лягушек: **419**

Объект **№ 5008**

ХАМЕЛЕОН

Вид: **полиморф.**

Может принять любой облик, который и определяет его поведение. Достоверных сведении о Хамелеоне нет. То есть сведений навалом, но нитко не знает точно: это сведения о Хамелеоне или о ком-то другом.

Ареал преимущественного обитания (место лежки): **везде.**

Способ нейтрализации: **не существует(зачеркнуто) Перчатки для ловли хамелеонов.**

Количество поимок: **0 (зачеркнуто) 1**

Число зафиксированных летальных исходов, произведенных объектом: да кто ж его знает?!

Глава 17

Полная засада

На операции, связанные с риском для жизни, не следует брать новичков. На такие операции следует брать опытных сотрудников, потеря которых отразится на боеспособности подразделения наиболее болезненно.

Устный комментарий к Инструкции по проведению опасных мероприятий

Противник бежал! Видимо, что-то задумал.

А. Македонский "Крик петуха"

– Труба зовет! Вставай!

"И не подумаю", – подумала Мари, не утруждая себя выяснением, какая труба, если она уже не в кабинете коллекционера с Хамелеоном, и не в школьном подвале с Хамелеоном, и вообще ни с каким не с Хамелеоном, а в своей курсантской постели одна. И почему Жанна, которая должна стоять на Посту № 1 у Боевого Древка, щекочет ее за пятку. В любом случае Мари, трудолюбиво добиравшая недополученные из-за ночных охот на кошмары часы сна, не собиралась упустить хотя бы минутку ради не известной ей трубы. Но Жанна была не из тех девушек, кого могли остановить такие сантименты.

– Вставай, – Командирша стащила одеяло, – Омордня проспишь.

Мари ожесточенно зарылась в подушку. "То, что Жанна знает про Омордня, не дает ей право… право…" Девушка снова провалилась в сон, откуда была безжалостно выдернута крепкой рукой соседки.

– Вставай, сейчас будильник зазвонит.

Мари немного потрепыхалась, осознала неотвратимость просыпания, быстренько с этим смирилась, сладко зевнула и открыла глаза. Жанна приветливо помахала Боевым Древком.

"Ага, Пост № 1 уже в нашей комнате", – поняла Мари и посмотрела на будильник.

Без 15 22 00 (без пятнадцати двадцать два ноль ноль).

– Еще пятнадцать минут, – сказала она. – Я бы еще полсна посмотрела.

Жанна нахмурилась, поднесла к лицу наручные часы и дунула на них. Стрелка на будильнике мигом перескочила на четверть часа вперед. Мари едва успела хлопнуть по кнопке отключения.

– Здорово, – сказала она, – а назад открутить можешь?

– Это тебе не игрушки, – ответила Командирша, – а тайные знания, легкомысленное применение которых может привести к катастрофическим последствиям. Я и так дала тебе лишних пятнадцать минут поспать.

Мари ничего не поняла, но решила не дурить голову всякой ерундой, а дурить серьезными вещами. Она скомандовала себе: "Тревога!", быстренько оделась и отдала мысленный приказ: "Отбой тревоги!" (иначе тренированное тело понесло бы девушку к оружейной комнате).

В дверь постучали, и из коридора донесся голос Георга:

– Мари, ты уже одета?

– Должна вас огорчить – одета! – крикнула Жанна. – Но минуту назад у вас еще был шанс.

Воцарилось молчание. Георг за дверью обдумывал слова Жанны, Мари перед дверью сгоняла с лица краску.

Командирша громко фыркнула.

– И как вы, такие стеснительные, будете своего Омордня ловить, не понимаю. А если он что-нибудь пошутит неприличное?

– Какого еще Омордня? – крикнул Георг из-за двери. – Мари! Ты что, разгласила секретную информацию?

– Я про Омордня ничего не разглашала! – на той же громкости ответила курсантка. – Но могу это сделать, если мы продолжим кричать на всю Школу!

– Неловко прерывать ваше воркование, – сказала Жанна, – но…

И Командирша гостеприимно распахнула дверь перед Георгом, так что инструктор смог насладиться всеми оттенками пурпурного на лице подчиненной. Полицейский вхромал в комнату, притворил за собой дверь и хмуро спросил:

– Ну?

– В смысле?

– Откуда твоя подруга знает про Омордня?

– Тайное знание, – объяснила Жанна, пока Мари пожимала плечами.

Полицейский хмыкнул и уселся на койку, выставив вперед загипсованную ногу.

– То есть откуда это знание, вам неизвестно? Понятно. Вообще-то я пришел, чтобы поговорить с Мари с глазу на глаз…

– Говорите, я смотреть не буду, – пообещала Командирша и закрыла глаза.

Георг неодобрительно почесал гипс, но Жанну выгонять не стал. И то – как бы он это сделал?

– Мари. Что я тебе приказал не делать?

– Ничего.

– А ты?..

– А я вам ничего не приказывала. Мне по званию не положено. А почему вы сюда пришли?

Георг сердито скрипнул койкой.

– А пришел я, курсант Мари, чтобы сообщить – в сегодняшней операции ты не участвуешь! Будешь сидеть здесь, пока…

– Мари! – донесся из-за двери голос лейтенанта О. – Нам пора на операцию. Секретную. Ты уже одета?

Жанна потерла руки.

– Мари уже даже не одна! – радостно крикнула она. – И у нее в постели мужчина!

– Что ты врешь?! – разом воскликнули Мари и Георг.

– Чистую правду, – парировала подлая Командирша.

Вошел О. с удивленно вытаращенным носом.

– А, – сказал он, – ты про такого мужчину… Жанна, а ты почему не на посту?

– Я на посту.

– Пост возле Древка…

– Древко вот. Я его теперь с собой ношу. Так гораздо удобней.

– Но по уставу…

– Я устав знаю. "Часовой на Посту № 1 должен находиться в непосредственной близости от Боевого Древка Школы, – процитировала Жанна, – и защищать его всеми доступными способами".

Командирша продемонстрировала несколько доступных ей способов. Лейтенант отступил на длину вытянутого древка плюс длина лейтенантского носа.

– Вы закончили? – кисло поинтересовался Георг. – Поразительно. Пойдемте, лейтенант, пора планировать операцию.

– А Мари?

– А курсант Мари, грубо нарушившая мой предыдущий приказ, остается здесь! – отрезал старший инспектор. – Это приказ!

Повтор слова "приказ" произвел странное действие. Жанна хохотнула. Мари потупилась. Лейтенант О. с сомнением понюхал свой рукав.

– А почему вы думаете, – спросил он, – что ваш новый приказ чем-то лучше предыдущего?

Тут Георг наконец взорвался. Он сообщил все, что думает о безмозглых котятах, которые не слушают старших по званию и влезают в такие неприятности, что старшим по званию приходится рисковать здоровьем, которое у них не железное, трепать нервы, которые не стальные, и тратить личное время, которое не резиновое. Уже не говоря о звании старших по званию, которое из-за самовольных глупостей младших по званию держится на последней пуговице!

Лейтенанта это заинтересовало. Посопев и задав несколько уточняющих вопросов, он пришел к логичному выводу: единственный приказ, который может удержать Мари от влезания в неприятности, – это приказ Жанне удержать Мари.

Георг оглядел Жанну, потом Древко, потом Мари, и перестал орать.

– Ладно, – сказал он Командирше. – Вижу, ты девушка ответственная, поэтому привлекаю тебя к операции.

Жанна выполнила сложное упражнение с Древком. Мари размяла суставы и для разогреву несколько раз подпрыгнула.

– А чтобы некоторые не допрыгались, – Георг значительно посмотрел на Мари, – они будут сидеть у меня в офисе и выполнять функции диспетчера. А другие некоторые, – он перевел взгляд на Жанну, – будут смотреть за первыми. А то эти первые, – перевел взгляд на Мари, – так и норовят проигнорировать прямой приказ начальства и влезть в неприятности по самые пятки.

Потом перевел взгляд на лейтенанта О., и сказал:

– Что смотришь? Пошли.

План засады составляли в офисе Георга. Девушек к планированию допустили, но толку от этого было немного. Георг, лейтенант О. и командир спецназа знали каждый свое дело: командир набрасывал схему размещения бойцов, Георг молча кривил губы, О. переспрашивал непонятные детали.

На бумаге все выглядело динамично.

–Засада будет полной. Три группы бойцов, – отрывисто бросал командир (говорить плавно ему мешала спецназовская маска). – Здесь, здесь и здесь. Или здесь. Нет, лучше здесь. А эта здесь. А эта пусть там. Да, вот так хорошо.

– А как столько бойцов поместятся в детской спальне? – спросил лейтенант.

– А они еще не в курсе? – спецназовец посмотрел на Георга.

– Это большая детская спальня, – неохотно сказал тот. – Наш живчик…

– Наш смертничек, – поправил командир.

– …нацелился на внучку министра внутренних дел.

Все помолчали. Командир спецназа дал каждому подумать о своем и продолжил:

– Первая группа маскируется под кроватью, вторая прикрывает первую из-за шкафа, третья дожидается входа объекта и прикрывает первые две.

– А какая группа хватает объект? – спросила Мари.

– Четвертая? – неуверенно предположил О.

– Нет, – сказал Георг.

Командир спецназа разъяснил подробнее:

– Объект будем фиксировать с помощью титанового мешка. Лейтенант, замаскированный под ребенка, лежит на кровати, объект подходит, старший инспектор Георг нажимает кнопку, мешок падает, объект обездвиживается, все идут домой.

"Да это же план Лео! – поняла Мари. – Положить вместо ребенка полицейского. Только вместо ямы мешок. Ай да Лео. То есть ай да Георг, взял и спер чужой план".

– Домой? – неуверенно повторил лейтенант. – Это хорошо…

– Не волнуйся, – успокоил его спецназовец, – тебя будет прикрывать группа из-под кровати. Плотным огнем из всех видов оружия.

О. поежился. Ему не понравилось, чем все это пахнет.

– А давайте, – сказал он, – вооружим ваших бойцов инфраметами.

– Чем? – спросил командир спецназа.

– Ничем! – заявил Георг. – Это не оружие, а… щекоталка какая-то. Смех да и только.

– Давайте без хохмочек, – покачал головой спецназовец, – Напоминаю: операция будет проходить на квартире генерала.

Мужчины посуровели. Жанна поинтересовалась:

– А что, генерал злой?

– Нет, – ответил командир спецназа, – генерал веселый.

Георг, спецназовец и лейтенант синхронно сглотнули.

Иконостас часов на кухне разом пробил одиннадцать, без четверти одиннадцать и четверть двенадцатого.

– Пора, – уверенно сказал Георг.

Омордень толкает дверь шкафа и смотрит в детскую комнату. Кровать, на кровати под одеялом ребенок, ребенок, конечно, не спит. Часы в горошек на стене показывают три часа ночи. Уже три часа он ходит по комнатам с детьми, которых ему щедро показала тетка из школы.

И он до сих пор голоден.

Да, дети боялись. Но боялись не так, как они должны бояться. В страхе не было безнадежности, самой сладкой его составляющей. В страхе была надежда, вызывающая у него изжогу.

А когда он приступал к делу – входил, смотрел, сопел, показывал зубы, в спальнях начинала играть эта мерзкая, выворачивающая нутро музыка.

Музыка не давала сосредоточиться, не давала допугать детей до правильного состояния. И пока он вертел головой в поисках источника отвратительных звуков, дети смелели. И он уходил голодным.

Он посетил уже восемь адресов. Осталось всего два. Девчонка, у которой он "забрал" голос, и здесь.

Омордень ставит ногу на пол, и сразу же отовсюду – с потолка, из-под кровати, из углов – раздается тошнотворное пиликанье.

Монстр рычит, тяжело ступая, доходит до кровати и… получает в глаза луч мощного фонаря.

– Пошел вон! – пищит мелкая человеческая дрянь. – А то я позову амазонку Мари и она тебя убьет!

Жанна стояла на голове перед дверью, придерживая Древко левой ногой. Поза ее казалась расслабленной, но Мари по собственному опыту знала, как это обманчиво. Подруга умела мгновенно переходить из стойки на голове в прыжок на спину. Поэтому через дверь выйти было нельзя. Как, впрочем, и через окно.

– Жанна, успокойся, – сказала Мари. – Никуда я бежать не собираюсь.

– Ничего не знаю, – отрезала Жанна. – У меня приказ.

– Да я просто воздухом подышать.

– Дыши через форточку. Но к окну не подходи, – Командирша моргнула снизу вверх.

Упреждая законные возражения о невозможности дышать через форточку без подхода к окну, она повторила:

– Ничего не знаю.

Что, разумеется, было неправдой: знала Жанна очень много, причем многое знала наперед. Видимо, под руководством своей инструкторши она осваивала что-то совсем уж сверхъестественное. Всякий раз, когда Мари собиралась подумать о дверях или окне, там оказывалась Командирша в боевой стойке.

Мари постаралась ни о чем не думать и еще раз обошла помещение. Офис Георга преобразился. То есть не сам преобразился, а был преображен двумя изнывающими от ожидания

курсантками. Выяснилось, что если все вещи расставить по местам, то на освободившейся территории вполне можно провести матч по большому теннису. Даже в присутствии пары десятков зрителей.

– Ну ты же охраняешь Древко не там, где оно всегда стояло, – сказала Мари. – Может, ты и меня постережешь не здесь, а…

– Не нужно ставить все с ног на голову, – сказала Командирша и стала с головы на ноги. – Мы должны быть здесь, чтобы координировать переговоры между оперативными группами.

Девушки посмотрели на рацию, установленную точно посередине расчищенного стола – такого большого, что на нем можно было сыграть матч по настольному теннису. Рация молчала четвертый час.

– Может, с ними уже что-нибудь случилось? – с надеждой предположила Мари.

Жанна покачала головой.

– Лейтенант бы сообщил.

– А если что-нибудь случилось с ним?

Командирша прислушалась к себе.

– Не случилось. У меня бы селезенка екнула.

– Оставайся на связи, – сказала Мари.

Курсантки сделали еще несколько кругов по офису. Никаких идей, кроме еще одной попытки побега – хоть какое-то занятие! – у Мари не появилось. Она начала забирать ближе к дверям. Жанна направила на Мари Боевое Древко и неожиданно предложила:

– Давай в теннис сыграем. Помнишь, мы выгребли из буфета ракетки, шарик и сетку?

Мари обдумала предложение. Может, она сделает крученую подачу, шарик ускачет, Жанна за ним полезет, а она тем временем…

– Отличная идея! – воодушевлено согласилась она и направилась к чулану, куда был аккуратно сложен весь найденный в офисе спортивный инвентарь.

Тем неожиданнее было обнаружить в чулане груду скомканной одежды.

– Кто? – сказала Мари.

Из одежды показался кривой нос, измазанный вареньем, а следом и весь Кривонос.

– Отойди, – буркнул он и деловито вышагал из чулана.

И тут же был приперт к стене Боевым Древком Высшей Школы Полиции.

– Не понял, – сказал барабашка.

– Это свои, – успокоила напарницу Мари. – Почти.

Дверь соседнего чулана немедленно приоткрылась, и противный голос сообщил:

– А Кривонос попался.

– Тоже "почти свои"? – уточнила Жанна, переводя Древко в состояние пониженной боевой готовности.

– Ага. Тут их много.

В подтверждение слов Мари из третьего чулана возник коротышка с характерно скрученным ухом. Он критически осмотрелся и заметил:

– Ералаш. Все поперекладывали. Ничего на месте не лежит.

Из четвертого чулана выбрался еще один барабашка и, зорко прищурив единственный глаз, принялся неприязненно изучать прибранное помещение.

– Кривонос, Крутолоб, Ухокрут, Полуглаз, – то ли пересчитала, то ли представила гостей Мари. – А где Вислощек?

– Помер, – беззаботно отозвался Крутолоб и тут же посерьезнел. – Шучу. На окраине баранки ворует.

– Вот что, девки, – заявил Полуглаз, – вы тут под ногами не мешайтесь, мы работать будем.

Он схватил один из выстроенных вдоль стены стульев, отволок его в центр офиса и повалил набок.

– Вот так-то оно ничего так, – осмотрев проделанную работу, сказал барабашка. – А то ишь, понаехали тут.

Жанна молча подцепила стул Древком и вернула его на место.

– А по голове? – насупил лохматые брови Крутолоб. – Ай!

Барабашки нестройно выразили несколько протестов.

"Вот и занятие, – подумала Мари. – Жанне до утра хватит".

Она сделала два незаметных полушага боком к двери, но тут ожила рация.

– Цьщ! – гаркнула Жанна и схватила средство связи. – Прием!

– Прием-то, конечно, прием, – ответила рация голосом лейтенанта О., – но вообще-то все пропало.

– Что пропало? Омордень не пришел?

– Пришел, понюхал и ушел. Только из шкафа высунулся и сразу назад. Видать, учуял чего-то.

– А я говорил! – донесся слабый, но громкий крик Георга. – Я же говорил, что пять шкафов за одним не спрячутся!

– Это он про спецназовцев, – пояснил О. – Они действительно… несколько торчат.

– А кто чихнул? – послышался в рации голос командира спецназа. – Кто чихнул, я спрашиваю?

– Я не чихнул! – отозвался Георг. – Я подал условный знак "Внимание!".

– Не спорьте, это все из-за меня, – сказал самокритичный лейтенант. – Какой из меня ребенок? Надо было все-таки одеяло скрутить.

Георг и спецназовец заговорили одновременно, но девушки уловили основную мысль: никакое одеяло не заменило бы лейтенанта полиции, а для обеспечения похожести на ребенка ему следовало поджать ноги (версия командира спецназа) или оторвать голову (мнение Георга).

– Засада, – сказала Мари.

– Причем полная, – согласился унылый лейтенант. – Слышите?

Ругань спецназовца и Георга вышла на новый уровень громкости. Даже барабашки, не переставая таскать вещи, уважительно защелкали языками.

– Наш-то, а? – сказал Ухокрут.

– Ну дык! – подтвердил Кривонос.

– Сам такой! – орали друг на друга старший инспектор и командир спецназа. – От такого слышу! А за такого ответишь!

– Лейтенант, вы там очень уж не расслабляйтесь, – озабоченно произнесла Жанна. – Преступник всегда возвращается…

Договорить она не успела.

Рация взорвалась яростным визгом атакующей монгольской конницы. Через миг визг сменился дробными клекотом и стройными воплями спецназовцев. И звуком, обычно сопровождающим спрыгивание из шкафа на пол очень массивного существа. И грузным шмяком, словно разом упали все паруса каравеллы "Санта-Мария".

Мари схватила рацию.

– Что случилось?! Лейтенант! Кто на вас напал?

– А-а-а! – ответил О. – Они тут везде… Кыш! Ой! Ах ты… Получай! Ой, извините, я не в вас… Получай! Ты получай! Да что ж ты вертишься все время?

Кто вертелся и не получал того, что хотел лейтенант, осталось невыясненным. Рация очень правдоподобно захрипела, и связь оборвалась.

– Я, кажется, знаю, кто на них напал, – быстро сказала Жанна. – Я, кажется, знаю, что тут можно сделать. Я, кажется, не знаю, как мне оказаться там прямо сейчас.

"А что по этому поводу знаю я?" – Мари закусила губу. Ответ находился где-то рядом. Где-то совсем рядом. Он приближался, приближался… и вывалился из пятого чулана.

– Баранки, братцы! – провозгласил Вислощек, приземляясь на пол и потрясая связкой сушек. – Не погрызенные почти что! Прямо с окраины!

Бородатые братцы, которые уже успели слегка разбросать вещи, с одобрительным урчанием устремились к добытчику. Первыми бежали Крутолоб и Полуглаз, и именно их Мари схватила на подходе к баранкам. Ухокрут и Кривонос тут же оказались в руках Жанны, которая рассудила, что рассуждать в такой ситуации некогда.

– Ну, как хотите, – сказал Вислощек и шмыгнул в чулан.

– И что теперь? – спросила Жанна, глядя на трепыхающиеся трофеи. Боевое Древко она сунула подмышку.

– А теперь мы очень быстро окажемся в доме генерала, – сказала Мари. – Верно?

Она тряхнула барабашками. Те кивнули.

– Только одно условие, – сказал Ухокрут.

Жанна слегка сдавила мохнатую шею. Барабашка мужественно сдержал стон и продолжил сдавленным голосом:

– Беспорядок тут больше не устраивайте. И хозяину не понравится, и нам лишние хлопоты.

– Договорились, – Мари кивнула Крутолобом и повернулась к Жанне. – Будет немножко противно. Поехали!

Стало немножко противно. Расплывающиеся в бетонную взвесь стены замелькали, как шпалы под паровозом, перемежаясь короткими междустенными провалами, в которых можно было коротко вдохнуть и снова зажмуриться.

Зато расстояние в полгорода ездовые барабашки покрыли за полминуты. Стена, воздух, стена – и курсантки провалились в комнату генеральской внучки Мари-маленькой.

В тот же миг мирный шорох жидкого бетона взорвался визгами, клекотом и воплями битвы. Вернее, даже не битвы, а черт знает чего.

Бравые спецназовцы валялись по всей комнате и корчились. Сначала Мари решила, что это особый вид профессиональных судорог, но тут же поняла – бойцы ожесточенно пытаются выковырять что-то клекочущее из-под бронежилетов.

Командир спецназа – единственный, кто не выпустил из рук автомат, – яростно чесал личным оружием между лопаток.

В кровати бушевал лейтенант О. Размахивая инфраметом, он свободной рукой выдергивал из-за шиворота мелкое существо, болтающее многочисленными ножками, и отшвыривал подальше. Тварь издавала визг одиночного монгольского конника и снова прыгала за шиворот лейтенанту.

Перед кроватью, пойманное титановым мешком, барахталось существо, обладающее минимум тремя головами и десятком конечностей. Но в мешке был не Омордень, Мари это сразу поняла.

Потому что Омордень, выпускающий из ноздрей клубы морозного воздуха, шарил длинными руками под письменным столом. И получал по длинным рукам то костылем, то загипсованной ногой.

– Живым не дамся! – кричал Георг. – И мертвым не дамся! Только через мой труп!

Похоже, операция пошла не совсем так, как было задумано.

Хоровой хрип спецназовцев, скрежет автомата по бронежилету, отрывистые извинения лейтенанта О., визг ушибленного монгольского конника, пиликанье китайской шкатулки, треск рвущейся титановой мешковины, леденящее душу и воздух сопение Омордня…

Пиликанье шкатулки?

Да, на прикроватной тумбочке действительно играла китайская музыкальная шкатулка. Та самая, которую настоящий Баррив, мальчик Алекс, преподнес в дар однокласснице Мари.

Но на Омордня в таком шуме китайская музыка не действовала.

Пока не брякнулась ему о голову.

Омордень обернулся и уткнулся взглядом в Мари, застывшую в позе "Курсант Высшей Школы Полиции, метнувший учебную гранату, которая оказалась боевой".

Гамма чувств во взгляде кошмара лучше всего выражалась нотой "До". Или, в полном варианте: "До каких пор это будет мешаться у меня под лапами!?".

– Все, кроме Омордня! – прорезал гвалт крик Жанны. – Ложись!

Мари начала падать, и тут время практически остановилось.

Она увидела, как судорожные движения участников битвы стали плавными, почти балетными. Как томно, словно тонущие дельфины, исчезли в темном углу барабашки. Как Омордень медленно-медленно (на самом деле быстро-быстро) оттолкнулся ногами-тумбами от пола и поплыл на Мари. Как Жанна чуть быстрее (то есть практически мгновенно) закончила преломлять Боевое Древко о колено.

Раздался неторопливый грохот. Мари нечеловеческим усилием повернула голову на звук. Одна из стен величественно разваливалась, напоминая альбом "The Wall" группы "Pink Floyd".

Из образовавшейся пробоины появилось что-то… что-то похожее на… на что-то такое. Если бы Мари пришлось описывать это… то… ту штуку… в общем, увиденное, ей пришлось бы использовать выражения "Нечто Непонятное", "Что-то Странное", а то и "Черт-Те Что".

Даже в замедленном времени это что-то двигалось невероятно быстро. Омордень не успел пролететь и метра, когда оно описало полный круг по комнате.

– Угу-гу, – прошумело Что-то Странное на пределе слышимости, и Мари услышала в его голосе укоризну.

После чего Черт-Те Что совершило второй круг, втягивая в себя мелких тварей, которые пулями вылетали из всех щелей обмундирования спецназовцев.

Омордень почти долетел до падающей Мари, когда Что-то Ни На Что Не Похожее завершило сбор урожая и ринулось на кошмар.

Голова девушки достигла пола, и перед глазами вспыхнул фейерверк. Ультрамариновые, васильковые, бирюзовые искры, шутихи, петарды, бенгальские огни, римские свечи и кремлевские звезды заслоняли обзор целую вечность.

Когда праздничный салют осыпался, время вернулось в нормальный ритм. Омордень сидел на обломках стола. Нечто Непонятное, судя по второй дыре в стене, покинуло поле битвы.

Комната снова наполнилась движениями спецназовцев. Но теперь они не валялись на полу, а, похватав автоматы, окружали Омордня. Тот выглядел неуверенно и даже нервно – весь ссутулился и мелко дрожал.

– План "Б"! – гаркнул командир спецназа. – Световые гранаты к бою! Давай!

Дали все сразу. Мари в деталях рассмотрела ослепительную вспышку и дальнейшее воспринимала только на слух.

– Мешок! – заорал Георг.

– Есть мешок! – отозвался О.

Запахло пылью. Командиры закричали разом.

– Фонари! Уходит! Еще раз мешок! Распутывай! Уходит! Зарррраза!

Мари проморгалась к финалу операции. Омордень пятился, на ходу скукоживаясь и зеленея. Кто-то в четыре руки тащил к мельчающему монстру огромный мешок, но не слишком быстро – мешали несколько спецназовцев, которые запутались в орудии лова.

Зато при накидывании ловушки на Омордня они сыграли роль грузил.

Но когда мешок вывернули наизнанку, внутри оказались только несколько кусочков льда и маленькое зеленое пятнышко.

Глава 18
Двоись!

Несмотря на отдельные конструктивные недостатки оборудования, в целом эксперимент следует признать успешным.

Из официального разбора полетов Икара

Если вы попали в безвыходную ситуацию, не бойтесь. Поздно.

"Все, что вы хотели знать о страхе, но боялись спросить"

– Несмотря на достигнутый успешный результат, – сказал Георг, восседая во главе поваленного шкафа, который заменял разрушенный стол, – операцию следует признать полностью провалившейся.

Командир спецназовцев, лейтенант О. и Мари напряглись, но не смогли увязать две части утверждения. Только Жанна продолжала невозмутимо заматывать Боевое Древко скотчем.

– Поясняю, – продолжил полицейский. – Преступник обезврежен, это очевидно… Курсант Мари! Что за вопросительное выражение лица? Что вас смущает?

– Слово "очевидно".

– Курсант права, – сказал командир спецназовцев. – Нет тела – нет дела. Что я приложу к рапорту? Эту зеленую кляксу?

И умело пнул пустой титановый мешок.

– Очевидно! – с нажимом произнес Георг. – Что преступник либо уничтожен, либо впал в спячку, либо извел себя еще каким-нибудь способом. Последним его видели все, он вошел в мешок, а из мешка ничего не вышло…

– Я же говорю, ничего не вышло, – согласился командир. – Только генеральскую квартиру разворотили.

– …поэтому операцию условно можно назвать условно успешной.

О. взялся выразить общее мнение и энергично закивал.

– С другой стороны, операция прошла совершенно поперек всякого планирования. Значит, она, безусловно, провалилась. Вот вы, лейтенант, – что вы должны были делать?

– Заманить объект в зону поражения его мешком, – доложил О., возобновляя кивание. – В принципе, я так и сделал.

– Должен ли я, лейтенант, понимать вас таким образом, – Георг прислушался к своим словам, но продолжил, – что ваши принципы важнее прямого приказа?

– Если вы про инфрамет, – сказал О., – то я здесь ни при чем. Они все время вертелись, а бойцы под инфрамет попадали, потому что они не вертелись.

– А почему они не вертелись? – Георг переключился на спецназовца. – Почему три десятка якобы обученных и вроде бы готовых ко всему бойцов специального назначения валялись на полу, как дети малые?

– Зато они, – сказал командир спецназа, – под столами не прятались. А сражались с превосходящими силами неопознанного летающего противника, о котором старший инспектор Георг не счел нужным нас предупредить.

– С помощью достаточного количества скотча, – довольно сказала Жанна, – можно починить все, что угодно. Даже порванный скотч.

Она сильно стукнула отремонтированным Боевым Древком об пол. Древко выдержало. Георг – нет.

– Что это было?!

– Зашиворотники, – сказала Жанна. – НЛП.

– Кто?!

– Неопознанные Летающие Противники. Это такие… сущности, которые забираются за шиворот и делают вид, что шевелятся там.

Все присутствующие непроизвольно пошевелили лопатками.

– Что за бред? – поморщился старший инспектор. – Я уже тридцать лет кошмаров ловлю, но ни про каких зашиворотников не слыхивал.

– Это не кошмары, – по лицу Командирши было видно, что в ней борются желание все рассказать и стремление ничего не разгласить. – В… там они что-то вроде… развлечения. Или шутки.

– Вот видите! – Георг добавил обвинительного пафоса. – Какие-то шутки-прибаутки вывели из строя взвод так называемых головорезов. Хотя какое там "головорезы"! Головотяпы! Головоноги!

– А под столом не прятались, – гнул свою линию спецназовец.

– Я сменил дислокацию, чтобы вы смогли перегруппироваться! – отрезал Георг и перенес огонь на курсанток. – Теперь с вами. Несмотря на прямой приказ отсутствовать, вы присутствовали, да еще как! Одна едва не была проглочена при несанкционированном исполнении служебных обязанностей, вторая… Между прочим, Жанна, что это было?

– Зашиворотники, – терпеливо повторила Командирша.

– Нет, потом, в конце, которое… которое…

– В одну дырку влетело, в другую вылетело, – помог лейтенант О.

– Где? – невинно спросила Жанна.

– Здесь. Буквально недавно. Такое… ну…

Георг, а за ним и все остальные стали водить вокруг себя руками, пыжиться и кривить лица, но все равно получалось непохоже на то, что… ну… влетело в одну дырку и забрало всех зашиворотников.

– Какая разница, – сжалилась Жанна. – Ну было и было. Это из моей производственной практики. Между прочим, оно сработало.

– А оно не могло сработать как-нибудь по-другому? – повысил голос Георг. – Без этих вот… спецэффектов в доме генерала?!

Старший инспектор обличающе простер руку к провалам в стене. Лейтенант О. и спецназовец осуждающе покачали головой, вызвав таким образом огонь на себя.

– А вы! Вы не штурмовая бригада, а гопкомпания доморощенных любителей, которые…

Мари наклонилась к Жанне:

– Слушай, мне показалось…

– Что время затормозилось, когда я Древко сломала? Правильно показалось. Когда Оно влетает в наш мир, время под ним провисает…

– Что вы там шепчетесь! – прервал курсанток Георг. – Я говорю, выводы нужно делать, и выводы соответствующие, а они шепчутся. Что я скажу генералу? А? А я ему все скажу, все как есть!

В дверь постучали.

– Какого еще хрена к нам несет? – спросил старший инспектор.

– Лысого, – донесся из-за двери добродушный фальцет, – лысого, дорогой Георг.

Голос произвел на полицейского целебное действие. Он мигом утратил кислое выражение лица, вскочил без помощи костылей и принял стойку "смирно", невзирая на загипсованную ногу. Остальные поспешно последовали его примеру.

В комнату вкатился кругленький улыбающийся генерал. Орденские планки так плотно заполняли китель, что могли служить неплохой заменой бронежилету.

– Что стоите как побитые? – пискнул генерал.

– За одного битого двух небитых дают! – слаженно гаркнула мужская часть собрания.

Толстячок обернулся к курсанткам, и Мари показалось, что его улыбку протерли влажной тряпочкой – настолько ярче она стала.

– Пополнение? – восхитился генерал. – Отлично. Здорово. В боевых операциях, значит, участвуем, стены ломать, значит, научены, а боевых приветствий, значит, не знаем. Ну ничего, мы вашего отрядного командира под трибунал отдадим, глядишь, дело-то и пойдет.

Хотя говорил генерал беззаботно, лейтенант О. побледнел, как белье после кипячения.

– Чего сдулся, сынок? Ничего, в штрафбате накачают.

Генерал захохотал. Его никто не поддержал, но толстячка это не смутило. Похоже, он привык к проблемам с чувством юмора у подчиненных. О. стал похож на белье после кипячения, которому сообщили, что придется пройти еще и через "Тайд".

– Шучу, – хихикал генерал, – шучу, салага. Обойдемся без трибунала. Скажем, что погиб при исполнении.

И весельчак достал из кармана револьвер, такой же маленький и блестящий, как он сам.

Лейтенант перестал дышать.

– Ну, давайте, – скомандовал генерал и ловко сунул оружие на место, – докладывайте, командиры. Небось, завалили всю операцию?

– Никак нет! – гаркнул Георг. – Разрешите доложить?

– Валяй.

– Цель операции достигнута полностью. Объект обезврежен. Личный состав проявил личное мужество…

Из доклада шефа Мари с интересом узнала, что они все-таки не гоп-компания, а "слаженная команда профессионалов". И лейтенант не вырубил своим идиотским инфраметом полдюжины бойцов, а "успешно провел испытание новейших видов вооружений в обстановке, превосходящей боевую". И спецназовцы не беспомощно валялись, а "строго по плану отвлекали на себя превосходящие силы противника". И Жанна не запустила в генеральскую квартиру неизвестно что неизвестно откуда, а "творчески применила опыт, полученный при прохождении производственной практики".

Но приятнее всего было услышать про себя:

– Курсант Мари, проявив похвальную инициативу, вовремя прибыла к месту боевых действий и внесла значительный вклад в успешное завершение операции.

– А операция, стало быть, успешно завершена? – генерал выглянул в пролом.

– Так точно, – голос Георга предательски дрогнул. – Четкое взаимодействие всех участников позволило блестяще осуществить досконально разработанный и тщательно продуманный план…

– Досконально, – хозяин квартиры вскочил на доску от стола, лежащую на кирпиче из стены, и покачался на ней. – Ну раз досконально, то и устранение разрушений в плане продумано. Так, Георг?

И генерал подмигнул левым глазом.

Георг, что-то сообразив, подмигнул в ответ сначала одним глазом, а потом для верности двумя сразу. Генерал мигнул правым глазом. Старший инспектор понял, что слишком рано использовал все резервы, но быстро очухался и стал подмигивать всем лицом. Генерал ободряюще прижмурился. Георг начал входить в резонанс и принялся подмигивать, казалось, всем телом.

– Я понял ваш намек! – воскликнул генерал, широко открыв глаза. – Устранение начнется немедленно! Силами околачивающихся вокруг дома слаженных профессионалов!

Командир спецназа икнул и, наверстывая упущенное, часто-часто замигал.

– Конечно, за счет руководителя операции, – добавил генерал.

Георг вздрогнул и затих рядом с командиром спецназа.

Веселый генерал крякнул от удовольствия и обратил глаза-шарики к девушкам.

– Что я вижу! Боевое Древко Школы! У меня дома, какая приятная неожиданность! И какой сюрприз для начальника Школы. Возвращается он с маневров, а в шкафу пусто! И возле шкафа пусто. И в комнате дежурного по школе пусто. Прямо мор какой-то!

Лейтенант О., который исподтишка уже потихоньку дышал, поперхнулся.

– Как… с маневров?.. – просипел он. – Они же еще три дня… Как возвращается?!

– С оркестром, – объяснил генерал. – Вчера пришла вводная, что начальник Школы убит. А его зам, не будь дурак, отдал приказ немедленно возвращаться. С целью организации учебных похорон. Как вам такие новости?

– Урррa!

Голос, приближавшийся из коридора, так походил на голос генерала, что очумевшие мужики грянули:

– Ура! Ура! Ура!

– Ура! – закричала Мари-маленькая, оседлав Мари-большую. – Вы его прогнали! Вы его убили! Вы самые смелые! А она самая дура!

Мари, удержав равновесие, с трудом вернулась в стойку "Смирно". Точнее, "Смирно с ребенком на шее".

– Дедушка! – закричала девочка генералу. – Это амазонка Мари. А это мой дедушка, он на службе гоняет всяких бестолочей в хвост и гриву…

Генерал перестал улыбаться, отчего его лицо как-то сразу подобрело.

– Ты это… – сказал дедушка, – слезай со своей амазонки. А то всю гриву ей спутаешь. И хвост заодно.

Генерал кашлянул. При внучке ему не шутилось.

– А дура – училка наша! Когда ты ушла, она нам такое устроила! Сначала весь класс подняла и шипела так…

Мари-верхняя показала как. При этом она так активно помогала себе руками, что Мари-нижней пришлось страховать свою наездницу.

Вконец смущенный генерал сделал ручкой жест "Вольно! Разойдись!" (а может "Повезло вам, валите отсюда") и укатился из комнаты первым.

– …А потом вызвала к доске меня, Алекса… – тараторила его внучка. – Короче, десять человек! Построила и говорит: "Смотрите, дети, на этих несчастных! Вы видите их в последний раз!" А я ей не сказала, что голос ты мне вернула! "Ну ее! – думаю. – Вдруг опять заберет!" А после уроков Алекс нас отвел в магазин, и все купили шкатулки, как у него! И фонарики! А спальню скоро починят? Хорошо бы, чтобы не скоро. Я опять у дедушки буду ночевать. Он знаете какой добрый? А она, дурочка, сказала, что у меня голоса никогда не будет, а у меня есть, ха-ха-ха…

На секунду курсантка даже пожалела, что Карга ошиблась насчет голоса – хотя треск тезки она пропускала мимо ушей, уши уже начало закладывать. Оглядевшись, она поняла, что стоит в разгромленной комнате одна.

– Ты извини! – сказала она, с трудом вклинившись в монолог девочки. – Мне срочно домой нужно, у меня там сестра…

– А у меня сестры нет, – младшая Мари на долю секунды пригорюнилась, но тут же загорелась новой идеей. – Ой, пусти, пойду к дедушке, он мне сестричку назначит! Или братика!

Девочка соскользнула по мундиру курсантки, бросилась к двери, остановилась и спросила:

– А ты ко мне еще придешь?

– Обязательно!

– Здорово! Пойду дедушку обрадую!

"А ну как дедушка и правда обрадуется? – подумала Мари. – Чего доброго, развеселится!" Она выскочила из квартиры, сбежала по лестнице и, как ошпаренная антилопа, промчалась мимо командира спецназа, О. и Георга.

Сидевшие на крыльце мужчины продолжили неспешный мужской разговор.

– Слышь, инспектор, – произнес спецназовец, – ребят я, конечно, дам, но как насчет твоего счета, за который ремонт?

– Не вопрос, – отозвался Георг, смутно глядя на маячивших в отдалении бойцов спецназа. – С меня пиво.

Командир повеселел:

– Так с этого надо было начинать!

– Да как? Там же генерал был…

– Да нет! Операцию с этого надо было начинать! Старшие групп, за мной! Остальные – за старшими групп!

Полицейский поерзал на мешке для неудачной ловли Омордня, задумчиво почесал палочкой под гипсом.

– Слышь, О…

– Посадят и разжалуют, – сообщил лейтенант. – И расстреляют. И выгонят без выходного пособия. И под трибунал пойду. Какой позор!

– Ага. Ты не мог бы…

– Не мог! Жанне хорошо, она Древко вернет, и как будто ничего не было, а меня на посту не было! Скажут: "Совсем нюх потерял!". И расстреляют…

– Я говорю, ты не мог бы меня на своем мотоцикле до офиса подбросить? Не в службу, а в дружбу.

– Какую службу? Нет у меня больше службы, – О. совершил неудачную попытку сорвать с себя погоны.

– Я придумал! – Георг многозначительно поднял костыль вверх. – Поедем ко мне, я тебе справку напишу, что ты не дезертир, а наоборот, участник операции по ликвидации опасного преступника.

В глазах О. засветились огоньки надежды (два огонька по числу глаз).

– А это поможет?

– Ну… Хуже не будет.

Вообще-то Мари собиралась поспать. Ей показалось, что это очень удачная мысль – отправиться отсыпаться не в Школу, где готовились военно-полевые похороны и, возможно, расстрел лейтенанта О., а к Ирэн.

И Ирэн ей не мешала, только подробно расспросила о событиях прошедшей ночи, восхитилась ее мужеством, поинтересовалась, а нет ли у сестренки все-таки романа с отрядным лейтенантом, заставила попить чаю, приготовить завтрак, съесть его…

Мари это напомнило тренировки на живучесть, когда будущих полицейских заставляли допрашивать без перерыва два десятка подозреваемых.

– Ну теперь-то я могу лечь? – спросила она, когда темы были исчерпаны, завтрак съеден, а чай выпит.

– А? – поддержала ее кошка Дина и зевнула.

– Конечно! Только лежа тебе будет неудобно, – ответила Ирэн и убежала в комнату.

– Ошибаешься, – пробормотала Мари, отправляясь вслед за ней, – лежа мне будет очень удобно.

– Не-а, – ответила сестра из-за дверцы шкафа, – этот костюмчик примеривать лежа неудобно.

"Все, – подумала Мари. – Сейчас я усну стоя".

Но тут Ирэн проделала фокус, который очень взбодрил сестру. Она протянула вешалку с пестрым (голубое с белым) костюмчиком, потом резко развела руки… – и костюмчик раздвоился.

Мари замотала головой.

– Попалась! – обрадовалась Ирэн. – Прямо как Батон в первом классе, помнишь?

Мари невольно улыбнулась. Батон был рыхлым и неповоротливым мальчиком, чем доставлял близняшкам немало радости при игре в салочки. Когда Батон водил (а водил он часто), сестры любили проделывать фокус с раздвоением. Мари становилась перед деревом, Ирэн пряталась сзади. Батон, углядев неподвижную цель, несся к ней со всех ног, набычившись и расставив руки. В последний момент Мари отдавала команду "Двоись!", и близняшки разбегались в разные стороны.

И всякий раз набравший скорость Батон к восторгу всего класса ловил дерево.

– Да, – мечтательно улыбнулась Мари, – хорошее было время. Можно было спать каждую ночь.

– Опять ты спать, – надулась Ирэн. – А костюмчик?

– Ирэн, у меня есть план. Первое. Я иду в душ. Второе. Я иду в постель. И горе той неразумной сестре, которая попытается мне помешать.

Из ванной Мари вышла другим человеком. Чистым, добрым и без единой мысли в голове. Она настолько расслабилась, что наступила на кошку Дину. Дина изумленно взвыла.

– Другое дело, – одобрила Ирэн, выскакивая из-за угла с расческой и феном. – Садись, я тебя уложу.

"Вот зануда, – беззлобно и даже как-то напевно подумала Мари, усаживаясь перед зеркалом, – нет чтобы уложить меня лежа… на подушечке… под одеялком…"

– Проснись, – сказала младшая сестра, – любуйся. Почти как у меня, почти хорошо. А то ходишь лохматая, прямо как Карга твоя.

– Она не лохматая, – безмятежно ответила Мари, лениво любуясь, – очень аккуратная дама. Только вошла в класс, первым делом тряпку в руки… тряпку в руки…

Взгляд курсантки застыл.

– Сестренка! – шепотом позвала Ирэн. – Ты где?

– А зачем она взяла тряпку в руки? – спросила Мари у отражения сестры.

– Вытереть что-нибудь, – ответило отражение и подсунуло сестре голубой костюмчик.

Мари эту выходку проигнорировала..

– А что вытереть? Доска была чистая… Руки! Она руки вытирала. У нее руки были в мелу. И это перед началом первого урока!

– Значит, она перед уроком рисовала мелом…

– …стрелу на парте, – закончила Мари. – Значит, она мне соврала. Так. Что она мне еще соврала? Больше не пугать детей…

И тут только она осознала, что именно полчаса назад рассказала генеральская внучка.

– Ну я и балда! – закричала курсантка. – Карга все знала! А я-то думаю, почему она так быстро поверила в существование кошмаров… Как я не заметила! Она еще… Она еще сказала, что кошмары почти никогда не едят людей. Почти! А ведь я ей этого не говорила!

Мари вскочила и схватила себя за щеки. Дина вспрыгнула на освободившийся стул и строго на всех посмотрела. Ирэн боязливо подергала сестру за рукав халата.

– Мари, я ничего не понимаю. Значит, ты переутомилась. Черт с ним, с костюмчиком, иди-ка ты лучше спать.

– Ирэн, – курсантка посмотрела на сестру. – Карга специально натравливала на детей ужасы.

Ирэн молчала целую минуту, а потом предложила:

– Давай ее убьем.

Мари прищурилась.

– В общем-то… это не так сложно, – курсантка очнулась. – Ты что несешь?! Нужно немедленно бежать к Георгу за ордером на арест! Где мой мундир?

Ирэн придала глазам самое честное из возможных выражений. С такими глазами она любила рассказывать учителям, что мама просила их с сестрой отпустить пораньше, потому что нужно срочно отнести бабушке пирожки с капустой.

– Где мое форменное обмундирование? – повторила Мари.

– Это не форменное обмундирование, – кротко ответила Ирэн, – а форменное безобразие. Я сунула его в стиральную машину. Но ты можешь пока надеть этот миленький костюмчик.

Сердиться на сестру было глупо. То, что Мари обычно добывала в честном бою, Ирэн выцыганивала хитростью. Честно говоря, курсантке ВШП и самой хотелось посмотреть, как на ней сидит штатская одежда.

Одежда сидела отлично. Точно так же, как на Ирэн.

– Здорово! Ура! – закричала та. – У меня еще две пары одинаковых туфель есть. – Ирэн молниеносно опрыскала себя и сестру подарочными духами. – Теперь нас никто не различит. Пошли быстрее на улицу, чтобы все смогли посмотреть.

На улице по случаю семи утра было не так много "всех", но те, кому повезло, рефлекторно закрывали один глаз.

Из открытой двери офиса Георга доносились голоса.

– Здесь следует писать "Его Превосходительству", – настаивал лейтенант О.

– Я же писал в прошлый раз! – возмущался полицейский. – Ты же сам попросил переписать! Я уже двадцатый раз переписываю!

– Это потому что вы слишком спешите. Куда спешить? Некуда спешить… Вот видите, опять ошиблись! "Превосходительство" пишется с большой буквы… Да нет, не с такой большой… А чем это вдруг запахло?

Мари подтолкнула Ирэн, и они одновременно шагнули на порог кабинета.

– Разрешите? – сказала одна из них.

– Можно? – спросила другая.

Георг закрыл правый глаз, лейтенант – левый. Помогло это не очень. Да и выглядеть они стали как двухголовый косоглазый циклоп.

– Здравия желаю! Здрасьте! – поздоровались близняшки.

Георг медленно положил ручку, плеснул из стакана на ладонь немного чая и растер жидкость по лицу. О. судорожно принюхался и сказал:

– И пахнут одинаково.

– У нас просто духи одинаковые, – сказала Мари.

– Да, мы друг другу одинаковые духи подарили, – сказала Ирэн.

– Это моя сестра, Ирэн, – объяснила Мари.

– Хватит придуриваться, сестренка, – нахмурилась Ирэн, – познакомься с господами офицерами.

– Это она так шутит.

– Вы не обращайте внимания.

– Георг, разрешите обратиться по важному делу?

– Ирэн, прекрати. Георг, ей не разрешайте, разрешите мне!

Сначала лейтенант и полицейский пытались следить за репликами, как зрители матча по пинг-понгу, потом уставились в пространство между сестрами и одеревенели.

Мари поняла, что еще немного – и докладывать придется начальнику, находящемуся в состоянии нирваны. Она повернулась к Ирэн и сказала:

– Сестренка, если ты сейчас же не перестанешь придуриваться…

– Сестренка, если ты сейчас же не перестанешь придуриваться… – эхом отозвалась та.

– То я к тебе больше не приду.

– То я к тебе больше не приду, – повторила Ирэн уже не так уверенно.

– Честное сестренковское.

Ирэн надулась и буркнула:

– Ну и пожалуйста. Я вообще могу уйти. Где тут кухня?

– Всё, – объявила Мари, когда дверь за сестрой захлопнулась, – очнитесь. Я одна.

Мужчины вздрогнули. Георг повторил трюк с чаем, а лейтенант полез за носовым платком.

– Ты это, – сказал полицейский, – не двоись больше. И без того голова кругом. То Омордень со своими зашиворотниками, то Жанна со своим непонятно чем, то ты со своей… собой.

– Это не я была, – попыталась объяснить Мари, – это Ирэн…

– Все-все-все! – замахал руками Георг. – Говори, чего пришла. Только в темпе. Я лейтенанту справку пишу, а он тут кота за хвост тянет, лишь бы не возвращаться к месту службы.

Курсантка начала в темпе:

– Обнаружена женщина, пособник Омордня…

По мере изложения деталей Георг мрачнел все больше. По окончании рапорта он пошевелил костылем мешок из-под Омордня, который аккуратно валялся под столом, и сказал:

– Тюрьма по ней плачет. Каторга рыдает. Принудительные общественные работы вообще не просыхают.

– Будем брать? – вдумчиво сморщил нос лейтенант О.

Возможно, он надеялся, что за поимку опасного преступника его амнистируют. Хотя бы частично. То есть расстреляют, например, только ноги.

– Руки у нас коротки, – сказал Георг, – в нашем законодательстве против нее ничего нет.

– Может, пакетик героина подбросим? – предложил О. – А я найду.

– Лейтенант! – поразилась Мари.

О. смутился.

– Это я так… в кино видел. Снимают всякое…

– Придумал, – сказал Георг. – Курсант Мари. Слушай приказ. Немедленно отправиться к этой наводчице и что-нибудь там придумать.

Курсантка в жизни не получала более простых и четких приказов. "Все бы такими были", – подумала она.

– Слушаюсь! – ответила Мари и прислушалась. Из кухни донесся отчетливый звук ложки о дно банки с вареньем. – Я только сестру заберу.

Лейтенант оглушительно чихнул.

– Извините, – сказал он, – у вас тут, кажется, сквозняк.

Мари тоже почувствовала холодок, пробежавший по ногам.

"Это потому что мы с Жанной пространство расчистили, – думала девушка, пока шла от стола Георга к кухне. – Правы были барабашки…"

– Что ты здесь как барабашка? – сказала она сестре. – Варенье воруешь. Чужое.

– А вкусно! – ответила Ирэн. – Я, пожалуй, пару баночек украду себе домой. А тут всегда так холодно?

– Это мы с тобой слишком легко одеты, – неуверенно сказала Мари и поежилась. – Хотя…

Порыв холодного воздуха распахнул дверь на кухню.

– Сзади! – раздался крик Георга. Рык, хрип, треск раздавленного стола. Мари выскочила в комнату и встала.

Он был здесь. Тот, кого несколько часов назад нейтрализовали, обезвредили, уничтожили, вогнали в спячку, в общем как-то извели. Тот, кто обманул всех, превратившись в несколько кусочков льда и маленькое зеленое пятнышко.

Живой и здоровый, просто здоровенный Омордень прижимал Георга к полу ногой-тумбой. Лейтенант О. вырывался из лап монстра, одновременно шаря по карманам и лягаясь.

Омордень резко распахнул пасть и швырнул в нее лейтенанта.

Мари дернулась было вперед, но почувствовала спиной сестру.

"Не могу же я разорваться".

Омордень втянул воздух и увидел Мари. Что он подумал, неизвестно. Возможно, что старого трепыхающегося полицейского он съест на десерт, а сейчас.

…Он несся к неподвижной цели со всех ног, набычившись и расставив руки.

"Совсем как Батон".

– Двоись! – рявкнула Мари и рванула направо, ухватив краем глаза белое с голубым пятно, с такой же быстротой ринувшееся налево.

Близняшки разбежались.

Омордень был очень упорным ужасом. Если он намечал цель, то шел к ней напролом, не обращая внимания ни на какие обстоятельства.

И то обстоятельство, что цель раздвоилась, тоже не могло его остановить. Он все равно продолжал за ней гнаться. Он постарался догнать и Мари-левую, и Мари-правую.

Он очень постарался.

Упорство Омордня оказалось крепче его шкуры.

Глава 19
Дежа вю в тумане

Я знал, что Красная Шапочка выйдет мне боком.

С. Волк. "Воспоминания"

Старый друг борозды не испортит.

Платон об Аристотеле

Георг лежал под обломками стола и чувствовал легкое дежа вю, детали которого он рассмотреть не мог из-за густого тумана. Еще он чувствовал спину, по которой потоптался Омордень, и это было хорошей новостью, поскольку означало, что спина цела.

Инспектор приподнялся на локте и едва не столкнулся с головой Мари, которая возникла в белом мареве.

– Вы как? – спросила она.

– Что случилось? – спросил Георг.

– Я не знаю, – ответила Мари. – Я за сестрой пряталась, а потом она как крикнет "Двоись!", а я как побегу! А потом бабах!

Голова Мари исчезла, но тут же появилась вновь.

– Вы как? – спросила она.

– Что случилось? – на всякий случай повторил полицейский.

– Мы как побежим в разные стороны, а Омордень как бросится за нами двумя сразу. И порвался.

– Ух ты, – сказала вторая голова Мари, возникая рядом с первой, – а я ничего не увидела!

"Спокойно, – сказал себе полицейский, – это всего лишь близняшки. Кстати, совсем они не похожи. Вон та явно Ирэн".

– И хорошо, что не видела, – сказала явно Ирэн.

"Тогда вон та явно Ирэн".

– А что? – обрадовалась теперь уже точно явно Ирэн. – Было что-то страшное?

Мари не ответила. Георг тоже взгрустнул, вспомнив последние мгновения жизни О.

– Эх, лейтенант, лейтенант, – вздохнул полицейский, – как же ты так?

– Я просто не успел, – раздался из тумана гнусавый, но похожий на лейтенантский, голос.

Георг и девушки принялись озираться.

– Д-д-да тут я, т-т-тут! – сказал голос. – Чья это н-нога?

– Ой! – сказала одна из Мари (Георг опять в них запутался).

К собравшимся присоединилась голова О. Она была покрыта инеем и постукивала зубами.

– Что случилось? – выдохнул Георг.

– Вы как? – хором спросили девушки.

"Дежа вю 2, – подумал инспектор. – Нет, лучше, дежа вю возвращается".

– Плохо, – сказал лейтенант, – н-н-ничего не чув-в-вствую.

– Что не чувствуете? Руки? Ноги?

О. поднес руку к носу и попытался принюхаться. Раздалось хлюпанье.

– Ничего не чув-в-вствую.

– Просто у вас нос заложило, – сказала, кажется, Мари. – Пустяки! Зато вы живы, а Омордня разорвало пополам.

– Ой! – воскликнула, кажется, не Мари.

– Чья это нога? – послышался чей-то сиплый голос.

Георг потряс головой, чтобы вытрясти оттуда дежа вю.

– На звук, – крикнул он, – на звук ползите!

Одна из сестер тут же издала такой набор звуков, что любой здоровый человек двигался бы от них, а не к ним. Однако человек, который выбрел из тумана на четвереньках, был очень нездоров. Он оказался бледнее лейтенанта и весь покрыт не инеем, а ледяным панцирем.

– Кх-кх-капитан Макс! – доложил он.

"Макс! Капитан! Напарник! Ты вернулся! Ты десять лет пролежал в ледяном брюхе монстра, даже не в брюхе, а в другом измерении, с которым соединялось ледяное брюхо монстра, оказывается… И ты вернулся! Макс, старина, как же я рад! Дай, я тебя обниму! Нет, лучше дай я тебя расцелую! Ух, какой ты холодный!"

Вот это собирался воскликнуть Георг. Но, не в силах сопротивляться напирающему дежа вю, сказал проще:

– Что случилось?

– У меня нос з-з-заложило, – сказал О.

– Апчхи! Какое сегодня число?

– Пятнадцатое, – ответила одна из близняшек.

– Десять лет прошло, – добавила вторая.

– Десять лет? Десять лет… Пчхи!

– Зато вы ж-ж-живы, – сказал лейтенант, – а Ом-м-мордня разорвало п-п-пополам.

"Дежа вю не возвращается, – понял Георг. – Дежа вю усиливается".

– Что это за ваза? – прохрипели за его спиной.

"Что-то новенькое!" – обрадовался полицейский.

– Это мой гипс, – сообщил он, – поищите левее.

– Сейчас. А чья это нога?

– Вы как? – крикнула кто-то из сестер.

– Что случилось? – добавила вторая.

– У вас нос заложило, – прогундосил О.

Георг понял, что терять нечего, и сказал:

– Зато вы живы, а Омордня разорвало пополам.

– Понятно, – ответили из тумана. – А какое сегодня число?

– Десять лет прошло, – вступил в беседу капитан Макс.

Из тумана возникло очередное бледное лицо.

– Чья это нога? – спросило оно.

Никто не отозвался. Тогда новый спасенный полицейский с некоторым усилием втащил за ногу в область видимости заиндевевшего трехголового петуха.

– Что случилось? – сказала левая голова.

– Какое сегодня число? – сказала правая.

– Ногу отпусти, да? – сказала средняя.

Кококлокля, конечно, не отпустили, а сунули в мешок и занялись поисково-спасательными работами. Георгу удалось разыскать всех шестерых проглоченных Омордней напарников и потерять близняшек. По крайней мере, когда туман рассеялся, а отмороженных полицейских увезла "Скорая", он обнаружил, что остался практически один.

То есть в компании с лейтенантом О.

– Они ушли, – сообщил О.

Видимо, потеряв феноменальный нюх, он приобрел дар угадывать вопросы начальства на расстоянии.

–Куда?

– Вы же сами приказали им что-нибудь придумать. А придумывать они умеют.

О. сделал широкий жест. Георг внимательно изучил ошметки Омордня, разбросанные по всему офису.

– Думаешь, разорвут Каргу пополам?

– Вряд ли. По-моему, они не повторяются.

Глава 20
Две головы

Тема диссертации должна быть ясной, простой и понятной.

Из диссертации "Феноменологические основы диссертационного наименования в системе объективного научного дискурса"

Одна голова – хорошо.

Всадник без головы

– Будем разрывать Каргу на части? – спросила Ирэн, деловито шагая рядом с сестрой.

– Это не метод, – возразила Мари.

– Очень даже метод. Очень даже эффективный метод. Бабах – и нет проблемы.

Старшая сестра на ходу покосилась на младшую. Та придала лицу одно из своих любимых выражений "А чё такого-то?".

– Не годится, – сказала Мари.

– А, ты думаешь, если мы как побежим в разные стороны, она на нас не бросится сразу за двумя одновременно? Да, ты права, может и не броситься. Тогда как мы ее победим? Подбросим этой гадине гадюку в сумочку? Подложим на ее стул мину нажимного действия? Заманим на заброшенный завод и раздавим стотонным прессом? Что ты молчишь?

– Я думаю.

– Кто же молча думает? – удивилась сестричка.

Мари остановилась. Ирэн хихикнула.

– Извини, – сказала она. – Это я нервничаю, поэтому шучу. Ты молчишь, а я не знаю, что и думать. Вот и думаю что попало. Все, молчу, не буду тебе мешать думать, как победить Каргу.

– Я не про Каргу думаю, – сказала Мари.

– А про кого? Про лейтенанта О.? Да, он симпатичный. Хотя мне больше капитан Макс…

– Я про детей думаю.

– Сначала замуж выйди.

– Я не про тех детей думаю…

– Вот именно! – воскликнула Ирэн. – Не про тех детей ты думаешь! Надо про своих думать, а ты про кого? Про тех, к кому мы идем? А что про них думать? Придем, возьмем Каргу за шиворот и уведем в тюрьму. Дети счастливы.

– А если на ее место пришлют другую Каргу? Да мало ли злых взрослых бывает! Детей нужно учить плавать, а не спасать их из воды непрерывно.

Ирэн недоверчиво скривилась.

– Что-то ты мудришь, сестренка, – сказала она. – Или ты уже все придумала? Придумала, да?

Глаза младшенькой загорелись.

– Ты им выдашь оружие? Пистолеты? Нет, пистолеты детям рано, ты научишь их полицейским приемчикам! Здорово! Они тогда любого злого взрослого – через бедро и об пол!

Ирэн на ходу изобразила несколько движений, которые, как ей казалось, были "полицейскими приемчиками". С куста акации обрушился водопад утренней росы.

– Ирэн! Хватит придуриваться! Самое грозное оружие – это мозги. Тебя уже поздно учить ими пользоваться, а детей еще можно. Ирэн!

Вошедшая в раж Ирэн лягнула урну и взвыла. Мари не стала ее жалеть. Ирэн демонстративно захромала.

– Я тебя потом пожалею, честно, – смягчилась Мари, – но сейчас нужно немного напрячь мозги. Одна голова хорошо, а две лучше.

Ирэн дохромала до скамейки, плюхнулась, состроила страдальческую гримасу и принялась растирать ушибленную ногу.

– Больно, – сказала она, – а все ты. Лечи теперь.

Мари взяла ее ступню в руки и подула на больное место. Ирэн откинулась на скамейке с видом принцессы, которой под перину подсунули дикобраза.

– Тебе дай волю, ты всех заставишь за себя думать. Даже этих бедных детей в школе. Эй! Ты чего? Давай дуй, у меня еще не прошло!

Но Мари уже отвлеклась. Она сгребла сестру в охапку и принялась ее целовать.

– Умница! Конечно, заставлю! Мы дадим детям задание: пусть сами придумают, как бороться со своими страхами.

– Ты серьезно?

– Еще бы! У них проблема – пусть ищут решение. А когда придумают, это будет их решение, а не взрослых. Вот как ты все замечательно придумала.

– Да, – сказала Ирэн не очень уверенно, – я умная.

– Пошли, – Мари потянула сестру за руку, и та послушно поднялась. – В школу опоздаем.

Видимо, обдувание голени оказало целительное действие, потому что остаток пути близняшки преодолели резвой рысью.

– Надо еще название для урока придумать, – Ирэн понравилось предлагать гениальные идеи. – Что за урок без темы? Напишем ее на доске, чтобы дети сосредоточились на проблеме. Например: "Как извести Каргу".

И бывшей больной ногой ловко подфутболила пустую пивную банку.

– Нужно что-то доброе, – Мари подобрала банку. – Например: "Позитивное переосмысление детских комплексов".

Ирэн фыркнула.

– Ты что, диссертацию защищать собралась?

– Согласна, надо попроще, – курсантка метнула банку, попав точно в урну. – Может, так: "Обретение ощущения внутренней безопасности"? Нет, надо более образно и ярко. "Психологическая самозащита от кошмаров"!

– Скукотища! Лучше: "Умри, злобная Карга!". Образно и ярко.

Теперь фыркнула Мари.

– Что ты заладила? При чем тут Карга вообще? – она открыла школьную калитку. – Дети должны научиться справляться с любой опасностью.

– Тогда: "Надаем кошмарам по башке!". Или: "Смелому все по барабану!".

Мари схватила Ирэн за руку и потащила ее за куст.

– Эй-эй! Ты чего?! – пискнула сестричка. – Что я такого сказала?!

– Пригнись! – прошипела курсантка. – Тихо.

Ирэн замолчала, и у Мари появилась возможность подумать не двумя головами, а только своей.

"Что же за тема может быть у этого урока? Урока, на котором объясняют, как жить в опасном мире? Не спасаться, не выживать, а просто жить. Кто-то недавно что-то про это говорил…"

Калитка хлопнула. Карга простучала каблуками мимо затаившихся девушек и скрылась в дверях школы.

– Пятьдесят минут до первого урока, – сказала Мари. – Пришла стрелы рисовать. А через полчаса придут дети.

Близняшки выбрались из кустов и принялись приводить себя в порядок.

– Какая миленькая школа, – сказала Ирэн. – Ой, кажется, пятно посадила! И не подумаешь, что под школой водятся чудовища.

"Да, вокруг еще было полно чудовищ… – Мари попыталась не упустить мысль. – Нет, не в подвале под школой… и не в подвале под аэропортом…"

– Ну, пошли уже, – Ирэн закончила прихорашиваться, – а то я тут состарюсь, пока ты думаешь.

"В коллекции Лео, вот где! Что старичок тогда сказал? Не надо ужасов бояться… Не то… Безобидней кошмаров только тараканы… Хорошо, но не то… Вспомнила!"

– Придумала! – воскликнула Мари, мимоходом поймав себя на вранье: она ведь не придумала, а вспомнила. – Пошли. Есть название урока!

– Жаль… – сказала Ирэн.

– Чего жаль?

– Жаль, голову Омордня с собой не взяли.

– Во-первых, она не уцелела. Во-вторых, мы не пугать детей идем, а вселять в них уверенность.

– Ничто так не вселяет уверенность, – сказала Ирэн, – как голова свежелопнутого Омордня.

Сестры вошли в класс.

– Давай мел, я напишу! – потребовала Ирэн. – У меня почерк лучше. Что писать?

Глава 21

Здесь вам не причинят никакого вреда

В воспитании детей главное – уметь вовремя скрыться.

Крысолов

Десять минут на рисование белых стрел, пять минут на тщательное мытье рук в туалете – прошлый раз она едва не оплошала с пальцами в мелу – тридцать четыре минуты па торчание в учительской. Пора.

Карга идет по коридору. В класс она вступит точно со звонком. Точность и аккуратность – это синонимы неизбежности.

Все дети должны, сидеть на местах. Должны все, но она надеется, что сегодня увидит несколько пустых мест. Тот, кто спал в подвале под школой, всегда приходил ровно на десять дней. Точно и аккуратно. Неизбежно. И в последнюю ночь он всегда… пировал.

Он опять ушел на долгие десять лет. Жаль. Очень жаль. Но есть и другие. Они не так хороши, они медлительны, они… пугливы (Карга усмехается), они слишком долго подбираются к тем, кого она показала.

Но в конце концов они все-таки добираются до ее детишек. Кошмары всегда приходят к тому, на кого указывает белая стрела.

Неизбежно.

Уж кто-кто, а она в этом убедилась.

Звонок. Карга входит в класс, не глядя на учеников. Она никогда не смотрит на них, входя в класс, она и так знает, что все на своих местах. Кроме тех, кого утром увезли к врачам.

И сейчас все на своих местах. Но что-то неправильно. Что-то очень не правильно.

Они не встали.

Карга, сдерживая разгорающуюся ярость, поднимает глаза… и начинает размеренно и глупо, как пластмассовая кукла, моргать.

Раз. За последней партой сидит девчонка-полицейский в штатском, которая приходила накануне.

Два. За последней партой сидят две одинаковые девчонки-полицейских в штатском.

Три. Пустых мест нет. Все тридцать детей здесь. Включая тех, кого она показала вчера. Они смотрят на нее серьезно и даже как будто заинтересовано.

Четыре. На партах нарисованы не десять, а тридцать белых стрел.

Пять. Все тридцать белых стрел направлены на нее.

Шесть. Тридцать первая стрела на учительском столе тоже указывает на нее.

Семь. Учительница младших классов поворачивает голову и моргает в последний раз.

На доске написаны шесть слов.

Но, кажется, они адресованы не ей.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ПРИЧИНЯТ НИКАКОГО ВРЕДА

Сергей Курёхин

Справочный материал

Сергей родился 16 июня 1954 года в Мурманске и в 1971 году переехал в Ленинград. Курехин начинал свою карьеру как пианист, играя мейнстрим джаз, позже стал заниматься свободным джазом и импровизационной музыкой. Еще в 70-х Курехин принимал участие в группе БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ, и тогда познакомился с АКВАРИУМОМ. Уже признанный джазовый музыкант, он заставил АКВАРИУМ мыслить другими музыкальными категориями и его участие в записи альбомов "Треугольник", "Табу", "Радио Африка", "Дети Декабря" во многом определило развитие всей отечественной рок-музыки. Ему было интересно все - он переиграл на многих рок-альбомах 80-х. Создав ПОП МЕХАНИКУ, Сергей затащил

туда всех музыкантов того времени, перемешав рок-клуб с военным оркестром, сценическое шоу с симфонической музыкой. Его фантазия не знала границ, она боролась с разного рода табу, официозом советской культуры. В 1996 году вместе с Николаем Дмитриевым открыл фирму грамзаписи "Длинные Руки". 9 июля 1996 года, в 4 часа утра, в возрасте 42 лет от редкой болезни - саркомы сердца - скончался лучший музыкант современной музыки Сергей Курехин. Недуг уложил Сергея на больничную койку незадолго до объявленного концерта, и многие до конца не верили в трагичную развязку - казалось, стоит Сергею улыбнуться, и все болезни отступят сами собой. А он два месяца умирал.

"Сергей Курехин - самый серьезный артист в советской культуре. Возможно, самый серьезный человек в целом мире - после Ленина..."

Большинство авангардистов не могут и мечтать о возможностях - не говоря уже о приеме, - которые представились советскому пианисту-импровизатору и лидеру ансамбля Сергею Курехину. Он прибыл в середине октября 1989 года, 35-летний ленинградец со скромной, но непреклонной улыбкой, теплыми глазами косули и дружелюбной манерой поведения, скрывающими охватывающую его временами грусть, и провел один из своих первых дней в США, общаясь в студии с Фрэнком Заппой.

Из Лос-Анджелеса Курехин направился в Аризону, где записал альбом "Morning Exercises In The Nuthouse" для компании "Саундинг", специализирующейся на музыкантах "нью эйдж".

В Сан-Франциско он сделал совместную запись с гитаристом Хенри Кайзером, которая вышла на фирме "Райкодиск", сыграл джем с голубоглазым соулменом Бозом Скеггзом и общался с музыкантами "РОВА Саксофон Квартет".

В Нью-Йорке он сразился с Джоном Зорном в клубе "Ниттинг Фэктори" - вызвав интерес продюсера новой музыки компаний "Электра-Мьюзишн" и "Нонсач" Боба Хурвица - и записал несколько номеров с перкуссионистом Дэвидом Ван Тигхемом.

В чикагском "Сазенд Мьюзикуоркс" к Курехину присоединились барабанщик Пол Уэртико (ранее играл с Пэтом Метини), гитарист Пит Коузи (член AACM, известный своей безудержной игрой с Майлсом Дэйвисом в конце 70-х), саксофонист Марз Уильямс и басист Брайан Сэнстром. Пианист выступал в Санта-Крузе, Филадельфии и в Вашингтоне, где он также принял участие во втором ежегодном джазовом конкурсе имени Телониуса Монка, устраиваемом Бетховенским Обществом. Сергей посетил "Уэнг Медиа Сентр" Массачусетского технологического института, где ему были предоставлены особые привилегии почетного гостя, и он смог поэкспериментировать с самыми современными инструментами, в самый последний момент его включили в список участников фестиваля "Нью Мьюзик Америка Майами", где он выступил соло и с барабанщиком и вокалистом Дэвидом Моссом.

Курехин, который стал в некотором смысле любимцем средств массовой информации после того, как эмигрантская фирма "Лео Рекордз" выпустила в 1981 году его подпольный альбом "The Ways Of Freedom", был героем получасового фильма BBC "All That Jazz" и статей в таких модных изданиях, как "Интервью".

Результатом недели, проведенной Курехиным в Оберлинском колледже, стала частично подготовленная программа, приближавшаяся к забавному хаосу его ленинградского оркестра ПОП-Механика. Небритый, в своей обычной футболке с длинными рукавами в красно-черную полоску, напряженно внимающий и время от времени взъерошивающий свои каштановые волосы, Сергей доминировал на сцене.

Он по-клоунски падал и лежал на спине, дрыгая ногами - таким образом он дирижировал своим оркестром, состоявшим в основном из студентов: органиста, электроклавишников и гитаристов, фолк-трио, стил-барабанщиков, профессора Конрада Камминза на гамелане, классического камерного ансамбля, вокалистов, медных и деревянных духовых секций и солистов, оркестра военной музыки, небольшого женского хора. Как всякий хороший постмодернист, Курехин исполнял знакомые мотивы, включая вещи Генри Манчини и "дубинушку". Он произносил в микрофон разные гласные звуки, а в это время президент Оберлина С. Фредерик Старр, авторитетный исследователь советского джаза, вставлял имитированный нью-орлеанский саксофонный брейк. В один из пиков представления рабочие в униформе стучали молотками по железякам, жужжали дрелями, гремели металлическими листами и стучали кирпичами. Их диминуэндо перешло в исполнение "Amazing Grace", исполненной акапелла.

"Концепция Сергея - универсальное представление без определения стиля или жанра, - объясняет Алекс Кан. - Возможно все, музыкально и визуально, и чем это более дико, тем лучше. Внешность Сергея и его поведение на сцене затрагивают все шоу, которым он дирижирует, хотя он может и не играть на рояле - часто он этого и не делает".

Какой бы непринужденной и забавной, дикой и свободной не была его дирижерская техника, рассматривая элементы, из которых он сплетает свое представление, как равноправные, Курехин дает понять, что очевидно смешные и потенциально возвышенные звуки - это, в сущности, одно и то же. Противопоставление подвергает сомнению ценности на обоих их полюсах - ответ таков: "Ничто ничего не значит. Музыка - салонный трюк. Можно переключать программы легким нажатием кнопки, но ничего не может отвлечь вас надолго от врожденного беспокойства. Если я открываю душу, то в следующий момент я издеваюсь над этими же чувствами. Если я рассказываю вам анекдот, то жестокая правда остановит ваш смех".

Когда его уговорили выступить в прямом эфире в радиопрограмме Теда Пэнкена на нью-йоркской радиостанции WKCR с критиком Каном в роли переводчика, Курехин был уклончив и избегал заявлений о приверженности каким-либо идеям, говоря о серьезности с веселостью Маркса - не Карла, но Чико. "Нет, он не старается посмеяться над всеми, - переводил Кан, когда в ответ на дружелюбный упрек ведущего Курехин запротестовал, хотя и не без иронии, - Сергей говорит, что он самый серьезный артист в советской культуре. Возможно, самый серьезный человек в целом мире - после Ленина".

Вопросы о его эстетике встречались рассуждениями о принципах "идиотизма" или заявлениями наподобие следующего: "Человечество не там ищет - искать надо не в космосе. Меня больше интересует жизнь в центре Земли. Поэтому весь мой оркестр копает". Еще один образец: "Я нашел себе место в советской культуре. Оно в 15 метрах левее Кремля и немного выше".

В связи с приближавшимся конкурсом Монка, в жюри которого входили сэр Роланд Хэнна, Бэрри Хэррис, Томми Флэнеген, Роджер Келлеуэй и Хэнк Джонс, был задан вопрос: "А знает ли он Монка?" Сергей засмеялся и изрек нечто, в переводе Кана прозвучавшее как международный каламбур: "Ему нравятся святые". Серьезно ли он относится к конкурсу? На что рассчитывает? "Сергей очень серьезно относится к конкурсу. Рассчитывает на победу".

Однако, ему это не удалось. Сила Курехина-пианиста не в афро-американской традиции - и нынешнее жюри предпочло довольно прямолинейную преданность мейнстриму. Хотя Курехин - просвещенный слушатель джаза и способен использовать его язык и грамматику, в своих американских концертах он, как правило, использовал темы из Шопена и Листа, потом разрушая их синкопированными пассажами в кулачной манере Джерри Ли Льюиса и буйными перкуссивными кластерами. Он выходил из яростного пассажа настолько облегчая касание, что его руки двигались в нескольких дюймах от клавиш, а музыка была почти бесшумной. Он подпевал себе фальцетом без слов или имитировал европейскую оперу. Обладая всеми данными, чтобы шокировать обычно невозмутимую публику, в "Ниттинг Фэктори" Курехин залез под рояль, перевернулся на спину и поднял его ногами. Публика только охнула, когда он резко отпустил рояль и крышка с грохотом захлопнулась.

Здесь необходимо немного истории: Курехин стал героем советской молодежной культуры после многих лет упорной борьбы. Уроженец Крыма, сын армейского офицера, Курехин в детстве изучал классическое фортепиано и подростком заинтересовался западной поп-музыкой. Учащийся музыкальной школы, а затем студент института культуры, в начале 70-х он снискал известность на "неофициальной" ленинградской рок-сцене. По словам Кана, "тогда Сергей был очень молод, но и вся сцена была молодая".

Курехина тепло приняли самые просвещенные музыканты прогрессивного крыла русского джаза, которые углубили его образование, познакомив его с музыкой черных американцев, таких как Джон Колтрейн, Сан Ра и Сесил Тейлор. Работая с участниками трио Ганелина, тенор-саксофонистом Анатолием Вапировым и цыганской певицей Валентиной Пономаревой (все они имеют пластинки на "Лио Рекордз") и гитаристом Гребенщиковым, Курехин постепенно начал реализовывать свои собственные проекты.

"Каждый раз, когда он представлял новую программу, у него было новое название для группы, - вспоминает Кан, - Одним из них было КРЭЙЗИ МЬЮЗИК ОРКЕСТРА. Он придумывал длинные, сложные, забавные названия для своих композиций". На своем двойном альбоме "Suway Culture: The Third Russian Opera" Курехин излагает эксцентричное либретто, полное дореволюционных русских аллюзий, но не поддающееся политическому анализу.

В 1982 году Курехин шокировал официальные артистические круги, выведя на сцену музыкантов, которые разбивали свои гитары, делали театральные трюки и предавались танцевальным оргиям.

Фрэнк Заппа в конце 60-х достиг еще более видного положения в США, чем то, на которое претендует Курехин в России. Тогда Заппа был не менее музыкально скабрезен и конфронтационен (и правда, его представление включали продолжительные "запилы" на кричащей блюзовой гитаре). Заппа прилежно изучал трудных мастеров, и, возможно, привел небольшой процент своих лояльных поклонников к Варезу и Веберну.

Дал ли этот уже не молодой великий человек из сферы "грубой" поп-музыки честный совет своему русскому поклоннику - как удержаться между поп-мученичеством и продажей? Объяснил ли он, как ослеплять фанов остроумием и музыкальной мудростью? Или Заппа с Курехиным говорили о технологии звукозаписи и аппаратуре МИДИ? Мы узнаем. Если Сергей Курехин удержится в золотой середине, то он еще вернется.

Все творчество Сергея Курехина стремилось разрушать разнообразные границы, нарушать всяческие табу, его фантазия прорывалась через всевозможные запреты. И то, что в последнее время он не мог найти для себя ничего нового в музыке, привлекло его в политику. Если уж дьявол постоянно искушает людей добродетельных, то что уж и говорить о таком творческом провокаторе как Курехин. Поиск новых форм и острых ощущений связан с саморазрушением мастера в пользу эстетического вызова, культурного шока. И попытался возвести идеологию в ранг эстетики и потерпел неудачу. То, что раньше ему было интересно на уровне разговора, стало жизнью в искусстве. Искусство отвернулось.

Сергей Курехин умер 9 июля после двух месяцев тяжелой болезни. Кто мог поверить, что всегда жизнерадостного и полного сил Курехина не будет. На гражданской панихиде говорили о его значении для культуры, и об ищущем, веселом, обаятельном человеке. А нелепость в том, что невозможно представить Курехина неживым. Его музыка не может стать архивом, она хоть и сиюминутна, но всегда в развитии, его слова не являются теорией, вечной истиной, они нацелены на конкретный объект и конкретную ситуацию. Его искусство было в движении, и совершенно невозможно представить его застывшим.

Интервью с самим собой

Сергей Анатольевич, мы хотели бы поговорить с Вами на разные темы для специального издания, посвященного выходу фильма С. Дебижева "Два капитана -2", в котором Вы играете одну из главных ролей. Возможно ли это сделать сейчас?

Сейчас нет, а минут через десять - можно. Дело в том, что через 10 минут закончится мой индивидуальный цикл перемещения солей животного происхождения в мозг из печени. Таким образом я контролирую обмен веществ в моем организме и, если Вы будете говорить со мной в это время, я за себя не ручаюсь.

Прошло 10 минут. Взгляд Курёхина приобрел некоторую осмысленность, и мы решили начать пробовать.

Сергей Анатольевич, в одном из интервью Вы сообщили, что Вы - ошибка природы. Что Вы имели в виду?

Дело в том, что природа в моем лице пыталась сделать курицу. Все мои повадки - куриные. Хотя иногда бывают странности. Я, например, время от времени начинаю рыть нору в земле, что, насколько я знаю, курицам не свойственно, скорее лошадям.

Нам кажется, что Ваш способ отвечать на вопросы - это попытка увильнуть от ответа. Очень хотелось бы услышать от Вас что-нибудь искреннее.

Я постараюсь быть предельно искренним.

Тогда мы хотели бы поговорить о политике. Каково Ваше отношение к активизации коммунистов в стране?

Коммунисты - очень милые и симпатичные люди. Только хари у них противные. Я, правда, не совсем понимаю, что они хотят, но сразу видно, что они настоящие патриоты чего-то.

Крайне любопытно. В таком случае, Вы можете сказать что-нибудь о Жириновском?

Жириновский - тоже очень милый и симпатичный человек. Играть роль полуидиота его заставляют. Скорее всего - это Бурбулис, фамилия Бурбулис этимологически связана с Карабас-Барабасом, и тогда сразу становится видна его сущность.

А от сущности до бытия - один шаг, как любил говорить покойный Хайдеггер. Линия Маркс - Энгельс - Бурбулис - Карабас-Барабас еще ждет своего исследователя. Кстати, мне недавно сказали, что Маркс и Энгельс - не муж и жена, а три абсолютно разных человека.

После того, как Вы в одном из номеров "Огонька" нелицеприятно отозвались о Невзорове, изменилось ли Ваше отношение к нему?

Я не совсем понимаю, зачем он ведет эту ужасную программу. По-моему, его тоже заставляют. Это происки либо евреев, либо педерастов. То есть, это происки крайне правых реакционных сил, либо крайне левых прогрессивных, точно не помню. Либо крайне средних. Мне кажется, что ему лучше подошла бы роль

ведущего какой-нибудь другой программы, например, "Бурда Моден представляет".

Сергей Анатольевич, а Вы хоть приблизительно представляете, что на самом деле происходите нашей стране?

Мне Гребенщиков говорил, что наша страна куда-то идет. Кстати, он возглавил движение по переносу столицы из Москвы во Владимир. Только таким путем можно восстановить Российскую государственность и Святую Русь. Меня он обещал назначить Великим князем.

Вы христианин?

Да, я - православный, хотя всю свою жизнь я посвятил кабалистике. Дело в том, что я нашел ошибку, которую допустили Раймонд Луллий и Альберт Великий при создании Голема. До этого все мои попытки создать Нового Человека приводили меня к созданию Вечного Жида. Кстати, Карл Маркс тоже был Вечным Жидом. Я проследил движение ВЖ [Вечный Жид - прим. автора] в истории. Но увидел я его только в наше время. И долго стоял перед этой тайной, пока не понял, что Вечный Жид - это я. С этого момента я понял, что Космос - един и что совсем не обязательно исследовать макрокосмос, как это делает вся современная космонавтика. Мы сконструировали космический корабль и отправили его в микрокосмос, т. е. во внутренний духовный мир человека. Корабль пилотируют две курицы - Мышка и Пышка. У нас в планах запуск искусственного спутника души. В процессе исследований нам удалось расщепить духовный атом. Таким образом, мы вплотную подошли к созданию духовной атомной бомбы.

А кто это "мы"?

Я, Псевдо-Дионисий, Ареопагий, Наполеон и Гоголь.

Ваше любимое чтение?

Некрасов. По ощущению юмора с ним может сравниться только Тарас Шевченко, но юмор у Некрасова более изящный. Также очень люблю Борхеса, Розанова, Шестова. Достоевского люблю за невменяемость и мощную многозначительность, прости, Господи, мои прегрешения. Пикуля не люблю, тяжел для понимания. Любимый композитор?

Каравайчук. А вообще-то любимых композиторов много. Терпеть не могу только Шостаковича. Сумбур вместо музыки. Да и двух шипящих, согласитесь, многовато для одного слова. Кстати, Сталин тоже его недолюбливал, а у него, как это всем известно, был довольно тонкий вкус.

Собираетесь ли Вы в ближайшее время где-нибудь гастролировать?

Недавно меня пригласили в Италию, то ли на работу, то ли на излечение, я так и не понял. И еще я готовлю новую программу для Франции. Называется она "Бородино II". В этой программе я попытаюсь расквитаться с французами за все.

И еще два слова о фильме "Два капитана - 2". Фильм, по-моему, художественный. Он рассказывает о том, что Мао-цзе-дун и Чан-кай-ши были сиамскими близнецами, а не китайскими, как это считали до сих пор. Начинается он со сцены концерта "Рок против оргазма". Цель фильма доказать, что оргазм присущ как живой, так и не живой материи. Это практически все, что я помню. Извините, но мне уже пора идти копать. Всего доброго.

Путешествие по России

В офисе совместной российско-американской нефтяной компании "Талон" царит необычайное оживление. Начинают съезжаться делегации, приглашенные на конференцию по нефтепродуктам, организованную компанией. Огромная работа по подготовке близка к завершению. И в этом заслуга первого заместителя генерального директора фирмы Марины Шувало, элегантной стройной блондинки, явно внимательно следящей за своей внешностью и знающей себе цену. С каждой минутой все происходящее все более напоминает сумасшедший дом. По коридорам снуют секретарши, клерки подписывают деловые бумаги, факсы работают без перерыва, лазерные принтеры постоянно печатают информацию, поступающую с компьютеров. Бесконечно звонят телефоны. С трудом выпроводив в отель делегацию из Турции, шеф компании Никанор Иванович Непанибратов медленно опустился в кожаное кресло:

- Пригласите Марину.

Для Никанора Ивановича подобная суета - привычное дело. Ему, бывшему начальнику отдела внешнеэкономических связей Обкома КПСС, приходилось видать и не такие съезды. Славное было время. Вспомнив свою последнюю встречу с Брежневым на охоте под Волоколамском, он грустно вздохнул. Великий был человек, не чета нынешним. Но сейчас было не время для воспоминаний, нужно было работать. Работать Никанор Иванович любил. На конференцию он возлагал много надежд. Ведь если удастся продать шведам турецкий чай, то можно будет не покупать у немцев голландский сыр. Все это имело мало отношения к нефтепродуктам, но он любил иногда отклоняться в сторону. Сейчас самое главное - японский рынок. Все усилия в этом

направлении до сих пор ни к чему не приводили. Японцы охотно шли на контакт, но в заключении договоров были очень осторожны. И здесь ему очень помогала всегда незаменимая Марина. Он не совсем понимал, почему она продолжает с ним работать. При ее внешности, прекрасном знании языков, деловой интуиции и вкусе, она бы давно могла открыть собственное дело. Может быть, она не равнодушна к нему? Он сразу же отверг эту мысль. Трижды пытался он уложить ее в постель, но каждый раз терпел неудачу.

Вот и сейчас, когда она вошла в кабинет, он вновь испытал странное волнение в органах дыхания.

- Заебали меня ваши арабы. Они считают, что узбеки уже настолько самостоятельны, что сами могут построить нефтепровод.

Маринина манера выражаться всегда приводила шефа в восторг. Ему казалось, что в свои 25 лет Марина видела в жизни много такого, о чем он в свои 55 и не подозревал. Вот и сейчас он поручил ей переговоры с кувейтской делегацией, наперед зная результаты.

- Но они согласились?

- А куда им еще деться? Все время пялились на мои колготки, аж вспотели.

Никанор Иванович приоткрыл дверь кабинета и выглянул в коридор. В офисе чинно сидела группа из Кувейта из пяти делегатов, приглашенная на конференцию. Европейские костюмы дополняли причудливые головные уборы. Они оживленно жестикулировали. Шеф прикрыл дверь. Марина курила.

- Два отеля уже полностью заняты прибывшими. Куда селить остальных ума не приложу. Отели требуют предоплату. До открытия - два дня. Через час прибывают американцы. Поеду встречать сама. Этим же рейсом прилетает Джейн. Я тебе рассказывала о ней. Мы вместе учились на филфаке в Университете, не видела ее пять лет. Невероятная девка. Интересовалась только мужиками. Танцы и мужики. Танцы, мужики и Достоевский. Все. Постоянно носила с собой автоматический член. Чуть что - раз, и готово. Мы с Катькой ее обожали. А когда я ей по телефону сказала, что Катька наша замуж выходит - так та даже завизжала от восторга. Поедем, говорит, мужа отобьем.

Марина снова закурила и откинулась в кресле. Стройные ноги, бедра облегала юбка от Валентине. Копна слегка рыжих волос и немного детская улыбка придавали ее лицу особое выражение милой наивности, которая никак не вязалась со свободной манерой общения, граничащей с вульгарностью.

- Джейн - это замечательно, но есть дела поважней. Вот последний факс от мистера Озава. Он пишет, что от компании приедет их главный консультант Рейко. Судя по уровню, они заинтересованы в сотрудничестве, что для нас очень важно. Этому парню 21 год, но он достаточно крупный специалист в области молекулярной вулканизации. В России впервые. Я надеюсь, ты произведешь на него сильное впечатление, и он быстро забудет о Японии вообще и о вулканизации в частности. Приблизительно в это время прибывает и Джейн из Нью-Йорка. Встреть, пожалуйста, японца, а Миша пусть займется американцами. Японцы сейчас важнее керосина. Поезжайте вдвоем, возьмите мой "Мерседес".

В аэропорту "Пулково" было очень оживленно. Марина с Мишей, сотрудником "Талона", крепким мужчиной со страусиным выражением лица, протиснулись в зал прибытия. Завидев группу

американцев, Миша, стремительно работая локтями, направился в их сторону. Марина искала глазами Джейн. За пять лет она могла очень сильно измениться.

Вдруг кто-то сзади схватил Марину в объятия, и знакомый голос пропел: "Возьми гитару, она расскажет...". Эту песню Марина любила с детства. Она резко обернулась и увидела улыбающееся лицо Джейн.

Подруги обнялись.

- Ты все такая же толстая.

- Это я толстая?! Да я похудела на четыре кило. Ты лучше посмотри на себя. Небось, бросила танцы, занялась бизнесом, сидячий образ жизни...

Марина познакомилась с Джейн в секции модерн-танца в Университете. Джейн была слегка полной и всегда немного завидовала Марине, ее стройной, изящной фигуре и умению легко выполнять самые сложные элементы танца. Марина танцевала с увлечением, всем своим существом погружаясь в танец, забывала обо всем... Их подруга Катя тоже несколько раз посетила секцию, но быстро бросила. Катя была из деревни: неторопливая, рассудительная, как все деревенские девушки, она была полной противоположностью Марине, вспыльчивой, динамичной, увлекающейся. На факультете их всех троих очень любили за общительность, веселый нрав и бесконечное остроумие.

- Отгадай, что у меня в сумочке?

- Джейн, какая ты дура, ты совсем не изменилась, неужели, по-прежнему...

- Ничего подобного. Просто я хотела показать тебе несколько фотографий.

На фотографии был изображен молодой улыбающийся негр в бейсбольной куртке.

- Марина, это Джеффри, - прошептала ей на ухо Джейн.

- Какой хорошенький. Вылитый Нельсон Мандела.

- Марина, я абсолютно серьезно, а ты со своими идиотскими шуточками. Это большое сильное чувство.

- Какое по счету?

В этот момент к ним протиснулся Миша.

- Миша, это Джейн.

- Очень приятно. Марина о вас много рассказывала.

- Он врет. Никому я ничего не рассказывала. Ну, ты встретил своих американцев?

- Да, все в порядке. Я отвезу их на своей машине, а вы с Джейн дождитесь мистера Рейко, и увидимся в отеле.

Миша, также стремительно работая локтями, исчез в толпе. Марина вытащила дощечку с надписью "Талон", подняла ее над головой, чтобы ее хорошо было видно выходящим в зал прибытия пассажирам рейса Токио - Хельсинки Петербург. Рослые финны, хохоча, несли тяжелые

сумки. Из-за спины одного из финских рок-музыкантов, приехавших на концерт в Санкт-Петербург, появилась худенькая стройная фигурка молоденькой японки. Она огляделась по сторонам, заметила надпись "Талон" и подошла к Марине.

- Рейко,- сказала девушка.

Марина опешила. Эта миниатюрная изящная японка - известный специалист по молекулярной вулканизации? Она ожидала увидеть стройного японца в дорогих очках и с толстым портфелем, а вместо этого...

Из оцепенения ее вывела Джейн.

- Какая прелесть, - сказала Джейн.- Как у Гогена.

- У Гогена - таитянки, - прошептала Марина.

- Я пошутила, - пробормотала Джейн.- Сама знаю.

- Я - Марина, зам. директора фирмы, а это - Джейн - моя подруга из Нью-Йорка. Она только прилетела, мы не виделись пять лет.

- Я очень рада познакомиться. Багаж ждать не будем, нас уже предупредили, что по ошибке наши вещи отправили из Хельсинки в Москву, так что они прибудут завтра утром.

- Боже мой, бедненькая, так ты осталась без всего! Поехали сейчас ко мне, только по дороге купим какой-нибудь еды. Я живу одна, с мужем разошлась уже два года назад. Предпочитаю животных. Кстати, у меня примете душ. В отеле все равно вчера отключили горячую воду. Тут такое творится в городе. Чистый дурдом...

Марина подхватила сумку Джейн, и они направились к выходу, у которого уже маячила фигура водителя. Новенький 600-й "Мерседес" за пять минут доставил их к продовольственному универмагу, где, преодолев невероятное препятствие в виде толпы и неразберихи, девушкам удалось купить еды. Машина везла их по вечернему Петербургу. Дворцы, набережные, арки проносились мимо. Рейко с любопытством выглядывала из окна.

- Ты не представляешь, Джейн, как мне все осточертело. Я больше не могу слышать слов "договор", "банк". Мой шеф считает, что я создана для бизнеса. А я только и думаю, как бы вырваться на дачу, не говоря уже о юге. В апреле вернулась из Италии, представляешь, Адриатика, солнце, а я в костюме - на переговорах. Маркетинг, черт бы его подрал. Да что Адриатика, мужика завести не могу, времени не хватает. Скоро вообще ничего не понадобится.

- А ты попробуй вот это, - и Джейн полезла в сумочку.

- Сумасшедшая, все-таки привезла с собой.

- Да нет, - расхохоталась Джейн,- я не для себя. Хочу Катьке на свадьбу подарить. Отличная шутка.

- Дурацкая шутка в американском духе. Рейко, ты знаешь, что это такое? - и она показала на автоматический член, который Джейн вытащила из сумочки.

Рейко покраснела и сделала вид, что любуется Петербургом.

- А Катька, как закончила филфак, вернулась к себе в деревню и сидит там. Звонит раз в полгода. Последний раз звонила позавчера, спрашивала, приедем ли к ней на свадьбу. Я ей сказала, что попробуем. До конференции два дня. Успеваем тютелька в тютельку. Можно Рейко с собой взять. Рейко, поедешь с нами в деревню к Катьке на свадьбу? Была когда-нибудь в деревне?

- Не была.

- Вот и замечательно. Переночуем у меня, а завтра с утра - на вокзал.

Квартира у Марины была огромная. Две кошки бросились к двери, когда девушки переступили порог дома. Наскоро приготовленный ужин, - и утомленные перелетом Джейн и Рейко забылись глубоким сном, полным необычных сновидений.

СНЫ РЕЙКО И ДЖЕЙН

Утро. Солнечные лучи пробиваются сквозь занавески. Редкая для Петербурга погода. Джейн, по привычке проснувшаяся в 7 часов утра, уже приготовила завтрак. Девушки с наслаждением потягиваются в постели.

- Марина, а ты уже совсем не танцуешь?

- Какие там танцы. Хотя иногда утром как проснусь, встану у зеркала, включаю музыку и представляю себя на сцене с нашим балетом, ты бежишь навстречу, а Дима, наш хореограф, кричит: "Легче, коровы!" И так радостно на душе!

Марина подошла к магнитофону и включила музыку, встала в позу и сделала несколько привычных движений. Джейн вскочила с кровати, и они принялись носиться по комнате, изображая танец. Рейко смотрела на них с восхищением.

- Рейко, а ты почему не танцуешь? Только не говори, что не умеешь.

- Я 12 лет занималась классическим японским танцем. Даже танцевала в присутствии императора. Девушки бросились к ней.

- Рейко, покажи.

Рейко в ночной рубашке встала посреди комнаты. Невероятно пластичная, она как будто была сделана из какого-то другого материала.

- Хватит глупостей, пора завтракать. Нужно еще успеть подобрать костюм в дорогу, - и Марина кивнула головой в сторону огромного шкафа, где висели ее вещи.

Завтрак прошел в беседе о мужчинах. Девушки засыпали вопросами Рейко, которая сначала была очень сдержанна, но, почувствовав искреннюю дружбу, стала рассказывать о себе. После завтрака началась примерка костюмов для поездки. Джейн выбрала себе дачные кирзовые сапоги, длинную клетчатую юбку, шляпку с искусственными цветами и рваную джинсовую куртку. Марина английскую клетчатую рубашку, старые расклешенные брюки, опять входящие в моду, и кроссовки. А Рейко выбрала ситцевый сарафан "Лаура Эшли", который Марина купила себе в Лондоне. По дороге на вокзал они оживленно обсуждали предстоящую поездку.

- Четыре часа на поезде с Московского вокзала, там 40 минут на автобусе, мимо монастыря, на пароме через речку, полчаса через лесок и мы в деревне Задумчивый Мох. Катька обалдеет. А Рейко будет подарком на свадьбу.

- А монастырь настоящий?

- Еще как настоящий. Монахи все здоровенные. Джейн, спала когда-нибудь с монахом?

- Отстань. С монахом не спала, а с настоящим русским мужиком пересплю в первый же вечер в деревне. Может быть я для этого и приехала. Не тебя же повидать.

- Разумеется. Только хочу тебя предупредить: сейчас в деревне страшная эпидемия неизвестной болезни. Передается только половым путем. После близости человек начинает невероятно толстеть и через сутки лопается. Вот это болезнь, это не ваш жалкий СПИД. Кстати, по слухам, в монастыре есть чудотворная икона, вылечивающая от СПИДа. У тебя желающих нету?

- Прекрати дурацкие шутки. Я тебе серьезно говорю. Я влюбиться хочу. Может, для этого и приехала. Рейко, а у тебя есть возлюбленный?

- Я обручена с 7 лет.

- Вот это да. Хорошо, что не с трех.

На вокзале девушки купили билеты, долго стояли у расписания. Вокруг все время сновали какие-то подозрительные личности.

- Одни жулики. Пойдемте скорее в вагон. Как бы чего не случилось.

У поезда стояла огромная толпа и внимательно следила, как молодой православный священник освящает новый дизельный электровоз. Не торопясь, помахивая кадилом и произнося слова молитвы, он брызгал святой водой на колеса. Двое послушников в рясах, опустив глаза к земле, пели что-то церковное. Зрелище настолько увлекло девушек, что они чуть не опоздали на свой поезд, стоящий на соседней платформе. Марина, оглянувшись, внезапно обнаружила пропажу всех их сумок, до сих пор стоявших рядом.

- Я как чувствовала, что спиздят, - выругалась Марина. Джейн заметно расстроилась.

- Все подарки украли. В милицию заявлять бесполезно - ничего не найдут, только все нервы истреплют. Все украли, гады.

- К счастью, Вилли был со мной,- и Джейн достала из сумочки автомат-член. Девушки расхохотались.

На первой же остановке в поезд подсели цыгане. Женщины с детьми тут же пристали к нашим героиням. Больше всего им приглянулась Рейко.

- Трое детей будет, муж будет хороший, работящий, красавец. Но счастье обретешь - не с ним. Любовь обретешь в сострадании, полюбишь героя, но вам не суждено быть вместе.

Марина переводила Рейко слова цыганки, которая потребовала за гадание 100 долларов. Марина дала ей 500 рублей, и та, очень недовольная, обернулась к Джейн, которая от души хохотала:

- А ты вся в перьях будешь, - и ушла в другой вагон. Табор с песнями медленно перемещался по поезду.

- Как ты думаешь, - обратилась Рейко к Марине, - она правду сказала?

Марина рассмеялась и обняла Рейко. Девушка покраснела. Видно, слова цыганки ее взволновали.

- А жених-то кто у Кати? - Джейн с любопытством уставилась на Марину.

- Точно не поняла. Во всяком случае, не игрок в бейсбол. То ли пастух, то ли учитель ботаники, что одно и тоже, по-моему.

- А в церкви венчаться будут?

- Еще как будут. Священник местный, бывший районный председатель исполкома, внезапно уверовал и теперь несет слово Божье людям. Кстати, скоро выходим.

На платформе Марина купила пачку "Мальборо", закурила и, увидев вывеску "Цирк Шапито - 200 метров", крикнула:

- Девки, цирк приехал.

На арене в это время шла репетиция. Клоун, пожилой мужчина интеллигентного вида с приделанным носом, пытался как можно глупее упасть с лошади, Лошадь, покорное и доброе существо, всем своим видом выражала соболезнование артисту. Под куполом резвилась стайка воздушных гимнастов. Они кидали друг другу маленькую толстушку, которая с визгом летала из стороны в сторону. Наконец, клоун не выдержал:

- Эй, вы заткнетесь когда-нибудь? Лошадь пугается, может инфаркт случиться. Лошади - они очень чувствительны, до инфаркта.

Девушки с любопытством смотрели на происходящее. Внезапно грянул оркестр. Клоун, заткнув уши, бросился вон со сцены. С трапеции раздалось дружное улюлюканье. Лошадь, приподняв хвост, эффектно удобрила арену цирка. Выскочивший откуда-то служитель сцены аккуратно смел все это в специальный совочек. Девушки зааплодировали.

- Смотрите-ка, японская делегация, - раздался голос с трапеции.

- Идиоты, - подумала Марина и прокричала: - Мы - инспекция Совмина.

Оркестр смолк. Оркестранты уставились на девушек. Виолончелист чихнул.

- А вон та, правая, ничего, - опять раздался откуда-то голос, и внезапно из-под купола на тросе спустился медведь. Девушки в испуге отпрянули. Но медведя интересовали только сладости. Не получив желаемого, медведь с досадой посмотрел на Марину, сплюнул и медленно заковылял в сторону лошади, по лесенке взобрался на несчастное животное, видимо, привыкшее к такому обращению, и, крикнув по-человечески "0-го-го", помчался галопом вдоль арены. В ту же минуту к ним подошел пожилой господин во фраке и в цилиндре.

- Доллары меняете? - деловито осведомился он. - Немецкие марки я не беру.

- А с чего вы взяли, что они у нас есть?

- А вы хотите сказать, что их у вас нету?

- Мы ничего не хотим сказать!

- Тогда платите за вход.

- Но у вас всего-навсего репетиция.

Но мужчина уже протягивал им какие-то квитанции.

- Оплата в трехдневный срок в любой сберкассе Челябинска.

Марина с недоумением посмотрела на старичка. Ей показалось, что она спит. Внезапно оркестр заиграл вальс, и несколько полуобнаженных пар закружились на сцене.

- А сейчас - глотание огня и шпаг, - и конферансье указал на заплывшего жиром мужчину в кожаных плавках, который судорожно пытался что-то проглотить. Этого Марина выдержать не могла и быстро выбежала из шапито. На улице ее поджидали Рейко и Джейн.

- Ну, как? - спросила Джейн.

- Потрясающе, - огрызнулась Марина. - Пошли быстрее, а то опоздаем на автобус.

В автобусе девушки дремали. Проснулись они только тогда, когда подъехали к переправе. Паромщик, крепкий лысый мужчина в ватнике, неодобрительно посмотрел на девушек.

- Никуда не повезу, - зло сказал он.

- Это еще почему? - удивилась Марина.

- А вы ко мне приставать будете, - ответил мужчина.

- Да он не в своем уме, - проговорила Джейн.

- Еще как в своем. На той неделе вез девиц, так те набросились на меня - еле выплыл. Так что, вылезайте, гости дорогие, никуда вас не повезу.

- Ну и черт с ним, - выругалась Марина. - Козел ушастый.

- Что же мы будем делать? - спросила Рейко. В ту же секунду из-за кустов чертополоха на берегу вылез босоногий веснушчатый мальчуган лет 12, подкрался к девушкам и тихо прошептал: "А вы к монахам идите, они помогут".

- Какие еще монахи? - переспросила Марина и вспомнила, что невдалеке отсюда находится монастырь. Но мальчик исчез также внезапно, как и появился. Девушки пошли в указанном направлении и вскоре увидели монастырь. Несколько монахов неторопливо пропалывали морковку. Марина судорожно думала, как к ним обратиться.

- Святые отцы, помогите, пожалуйста, перебраться на другую сторону.

Отцы уставились на девушек, затем медленно побрели в сторону речки, жестами приглашая девушек следовать за собой. На воде покачивались три лодочки. Каждый монах забрался в свою лодочку, посадил напротив себя девушку и неторопливо погреб к другому берегу. Марина попыталась вступить в разговор.

- Святой отец, а правду говорят, что сатана побеждает Бога, и скоро будет конец света? - кокетливо спросила она.

- Боже милостивый, избавь меня от помыслов греховных, да святится имя Твое.

Получив столь исчерпывающий ответ, Марина задумалась и остаток пути прошел в молчании. Высадившись на берег, где ее уже поджидали подруги, Марина собралась с духом и еще раз спросила:

- А как добраться до Задумчивого Мха? Святой отец понимающе закачал головой:

- Через час здесь будет проходить пастух Валентин со стадом, он и укажет вам путь, если будет на то воля Господня.

Двое остальных монахов в знак согласия закивали головами. Марина поняла, что разговор продолжать бессмысленно. Вскоре вдалеке действительно показалось медленно бредущее стадо коров. Ожидая еще каких-нибудь сюрпризов, компаньонки, наученные опытом, не вступили в диалог с пастухом, а в отдалении пошли за стадом. Вскоре показались первые дома. Девушки от радости захлопали в ладоши.

Найти дом Кати было совсем нетрудно. Задумчивый Мох был типичной деревней средне-русской полосы. Но было в нем что-то берендеевское, сказочное. Какая-то тайна чувствовалась во всем, что-то непонятное носилось в воздухе. Рейко и Джейн с восторгом озирались по сторонам, Марина громко постучала в дверь Катиного дома. В доме раздался детский плач. Дверь распахнулась. На пороге стояла Катя, русская красавица, широкобедрая, пышногрудая, с младенцем на руках. Сзади стоял мальчуган лет шести, а двухлетняя очаровательная девчушка цеплялась за материнскую юбку.

- Катюха! - выдохнула Марина.

- Девки! - завизжала Катя.

Джейн бросилась обнимать Катю, Катя Марину, а Марине ничего не оставалось делать, как начать обнимать Рейко. После первых приступов братской любви Марина, показывая на детей, спросила:

- Это, что, твои?

- Мои, мои детушки. А вот и жених мой, Коля Смирнов.

В сенях стоял красавец-мужчина с огромными усами, в гимнастерке. Марина сделала реверанс, Джейн прыснула со смеху, а Рейко, ничего не понимая, на всякий случай покраснела.

- Мы уже вместе восьмой год, троих вырастили, да жить без брака - грех великий, вот мы и решили обвенчаться. Да вы проходите в дом, что в сенях стоять-то. Какие вы молодцы, девчонки, что приехали. Да и казашка с вами хороша, как с картинки.

- Сама ты казашка, это Рейко, она из Токио.

- Врешь!

- Ну вот еще, врать тебе.

Девушки расселись вокруг стола. Вокруг сновали дети.

- А Коля Смирнов, жених-то твой, он кто будет? -тихо спросила Марина.

- А он у меня милиционер. По совместительству генеральный представитель фирмы "Смирнофф" в деревне. На той неделе офис открывает. Они нам на свадьбу подарок прислали,- и Катя отодвинула ширму, за которой стояли ящики с водкой "Смирнофф".

За окном раздался звук мотора. Девушки выглянули в окно. Во дворе Коля Смирнов, уже в милицейской форме, но почему-то с шашкой на поясе, заводил мотоцикл с коляской, на котором красовалась надпись "Смирнофф". Коля вскочил в мотоцикл, дал газ и с ревом помчался по деревенской улице, распугивая кур и поросят.

Пока девушки обменивались новостями, Рейко внимательно изучала обстановку. Ничего подобного ей в своей жизни видеть не приходилось. Иконки, ширмочки, занавесочки, печка, глиняные горшки, самовар, мебель - все это было так романтично. А разговор, между тем, принял очень интересный оборот.

- Очень люблю я Задумчивый Мох, - говорила тем временем Катя. - Не была я ни в Нью-Йорке, ни в Токио, да особо и не хочу. У нас тут все то же самое.

- Как, то же самое? - удивилась Джейн.- Да ты, Катька, чокнулась со своими коровами.

- Сама ты чокнулась, - обиделась Катя. - Пошли к нашему старосте, он вам такое покажет, чего вы нигде не увидите.

Любопытство победило, и девушки отправились к старосте. Авгий Филиппович Макаров проживал рядом с Катиным домом.

- Авгий Филиппович, принимай гостей.- Навстречу девушкам поднялся долговязый мужчина лет 60-ти с гладко зачесанными седыми волосами.

- Вот это гости! Да вы откуда-то такие будете?

- Я из Питера, Джейн из Нью-Йорка, а вот Рейко - из самой настоящей Японии.

- Во куда забрались. Только вот что я вам скажу, любезные гости. Глупости все это.

- Что глупости? - удивилась Марина.

- Да этот ваш Нью-Йорк, Токио ваш. Глупости, говорю я вам, да обман простого народа. И чего вам дома не сидится, все ездите да ездите. Вот у нас никто не ездит, все дома сидят. Нам дома хорошо. Что понадобится, все привозят. Хочешь тебе компьютер, хочешь факс. Вот на той неделе опять гуманитарную помощь получили. Целый грузовик компьютеров, лазерных принтеров и факсов.

Авгий Филиппович развел руками. Вокруг стояли компьютеры. Мониторы загадочно мерцали, принтеры что-то печатали. Марина с ужасом вспомнила свой офис.

- Это мой офис,- любовно проворковал Авгий. - А это моя секретарша Любовь Сергеевна, - и он показал куда-то в угол. Только сейчас девушки заметили полную рыжеволосую женщину с ярко накрашенными губами, которая по радиотелефону пыталась связаться с Бразилией.

- Люба, из Турции факса не было? Я им отправил четыре контейнера с обогащенным ураном, как мы договаривались. До сих пор ответа нет. Я уже начинаю волноваться. Может, позвонить в Цюрих?

- Еще рано, Авгий Филиппович, не волнуйтесь. Я просила у банка предварительно оплатить векселя, они уже дали согласие, так что те четыре миллиона долларов уже переведены в Бразилию.

- Любовь Сергеевна - наша деревенская доярка, по совместительству помогает мне в офисе. В деревне народу не хватает, вот все и выполняют двойную работу, - тихо сказал Авгий Филиппович.

В это время за стеной раздалось мычание, Любовь Сергеевна отодвинула заслонку возле компьютера, просунула в отверстие руки и начала доить корову, стоящую в хлеву, примыкающему к офису. Запахло парным молоком.

- Пойдемте, девушки, вы мои гости, я приглашаю вас в ресторан. Тут мы недавно открыли "МакДоналдс", знаете, говорят, в Америке очень популярен.

Они подошли к избушке, на которой была нарисована огромная курица, держащая в клюве надпись "МакДоналдс".

- Ох ты, боже мой, чуть не забыл деньги получить, дурень старый, а то бы опростоволосился, осрамился бы перед гостями, - и он затрусил в сторону покосившегося сарая, на котором красовалась надпись "Банк. Принимаем "Американ Экспресс", "Виза"". Авгий Филиппович порылся в грязных штанах, вынул оттуда какую-то мятую карточку и сунул ее в щель. Раздался страшный грохот. Авгий Филиппович еле успел подставить карман, куда посыпались пачки денег.

- Вот теперь все о'кей,- довольно пробормотал он. - А то чуть не осрамился.

Девушки вошли в избу "МакДоналдс". Посреди избы стоял огромный дубовый стол, за который Авгий Филиппович усадил всех гостей.

- Очень рекомендую заказать "Фишмак". Свежий, сочный. На той неделе завезли. "Гамбургер" тоже хорош, только не первой свежести, уже где-то месяц как новых не подвозили, - говоря это, он взял жестяную кружку, подошел к огромному баку с надписью "Кока-кола", открыл кран, и мутная зеленая жидкость потекла в кружку. Девушки оцепенели. В этот момент к ним с ласковой улыбкой подошел продавец, он же официант.

- Что пожелаете? - и он обнажил в улыбке два ряда золотых зубов.

- Как бизнес, Веня, процветает? - Авгий пожал руку продавцу-официанту.

- Какой тут бизнес, Авгий Филиппович, рэкет затрахал.

Как бы в подтверждение его слов мимо окна прошла группа бородатых мужиков в телогрейках и с обрезами наперевес.

- Совсем жизни от них нет.

- А ты обратись в секцию борьбы Сумо, недавно на "Корова-стрит" открыли. Там ребята серьезные, помогут.

- Это где раньше баня была, а сейчас китайский ресторан?

- Нет, это на "Берлога-сквер", а на "Корове" маленький такой зальчик, возле второго небоскреба. В том году все названия улиц поменяли, до сих пор путаемся, - пояснил он девушкам. Марина понимающе кивнула головой. В это время Веня поставил перед девушками глиняные горшочки с чем-то невообразимым.

- Мы совсем не голодные, - робко сказала Джейн. Рейко кивнула в подтверждение, и обе умоляюще посмотрели на Авгия Филипповича, который, вняв мольбам девушек и, попрощавшись с Веней, вышел с ними на улицу, на которой красовалась надпись "Курица-стрит". Они побрели вдоль улицы. Невдалеке возвышался огромный деревянный чурбан, в котором, приглядевшись, девушки распознали что-то похожее на монумент с продолговатым красным пятном на макушке.

- Памятник Горбачеву, - пояснил староста. - Работа Виктора Петровича Хлеборезова. Виктор Петрович - последний ученик Малевича, долгое время жил в Америке и вот теперь вернулся на историческую родину. "Не могу, говорит, в Америке. Не промчаться там, говорит, по траве босиком, И на розовом коне тоже не проскакать. Глухари не плачут на бору, только иволга иногда воет, да и то от тоски." Сейчас работает над групповым памятником Бердяеву, Булгакову и Флоренскому. Что ни работа - то уникальный эксперимент.

В это время мимо них прошел человек в эсэсовской форме, молча выбросил вперед правую руку, прокричал: "Хайль Гитлер!" и проследовал дальше.

- Фриц Помидоров, фантастический человек. Большой оригинал. В 41-м ушел служить к немцам. После войны мы его в тюрягу посадили, 20 лет отсидел, сейчас реабилитировали. Работает у нас в Германском посольстве генеральным консулом. А так как никто у нас в Германию не ездит, вот он дурью и мается. Тут из Москвы, из "Московских новостей" приезжали интервью у него брать, так он устроил их к себе, да и продержал родимых две недели. Насилу ноги унесли. Большой оригинал.

Девушкам начало казаться, что они сходят с ума. Они умоляюще посмотрели на Катю. Катя поблагодарила Авгия Филипповича, и девушки быстренько ретировались.

- Какие люди, - восхищенно сказала Джейн.- Я могла бы влюбиться в каждого из них. Кстати, о любви. Катенька, вот тебе мой подарок. Поверь моему опыту, незаменимая вещь в супружеской жизни, - Катя со слезами благодарности расцеловала подругу. Рейко прослезилась за компанию. Одна только Марина что-то недовольно пробурчала насчет озабоченности.

Ночевали все в отеле "Кемпинский". Уютненький, чистенький, он стоял на краю деревни рядом с полем, на котором время от времени приземлялись кукурузники с надписью "Люфтганза". Ночь прошла без особых приключений, исключая то, что кто-то всю ночь пел под баян романсы слегка дребезжащим козлиным тенорком. Романсы были о любви одного одинокого русского юноши к прекрасной японке, дочке самурая. Утром начались приготовления к свадьбе. Венчание было назначено в полдень, а гулять решили в саду возле дома Николая. Девушки одевали Катю к венцу.

- Талию приподними. Вот так. Теперь затягивай. Как не затягивается? Тогда сильнее затяни лифчик.

Опять расстегнуть? Нужно кормить Веру грудью? Нашла время.

А мужчины расставляли под яблонями длинные столы. Коля Смирнов без конца подвозил водку. Двое мужчин гонялись за бараном. Авгий Филиппович руководил процессом.

В церкви было прохладно. На венчание собралась вся деревня. Николай взял свидетелем Фрица Помидорова, которому по случаю праздника внуки начистили сапоги кремом и надраили свастику на фуражке. Со стороны невесты свидетелем была Марина в простом сарафане в мелкий цветочек, что было ей очень к лицу. Священник благословил молодых, вокруг которых постоянно сновали дети. И свадебная процессия, выйдя из церквушки, чинно направилась к дому Коли, где в саду уже накрыли столы. И праздник начался. Это было настоящее классическое русское застолье, с безудержным весельем, с лихими плясками, с водкой, которая лилась рекой. Гордость всей деревни, баянист Васька по кличке Кудри, не сводил глаз с Рейко, которая делала вид, что не замечает этого. Это он всю ночь пел романсы у ее окна. Кульминацией праздника были циркачи, которые привели медведя, танцующего на бочке, жонглеров, фокусников. Васька Кудри, отбросив баян, пытался сыграть для Рейко гопак на рожке, но постоянно падал из-за головокружения, вызванного чрезмерным количеством спиртного. Скоро в ход пошел самогон. Марина танцевала гопак с местным кузнецом, а Джейн страстно прижималась к здешнему миллионеру, владельцу лаптевой фабрики "Скалопендра". А когда ночь спустилась на землю, все, кто еще мог стоять на ногах, отправились на дискотеку, где под музыку "Пет шоп бойс" танцевали до утра. Стало светать. Джейн целовалась со скульптором Хлеборезовым, Марина о чем-то горячо спорила с Авгием Филипповичем, а Рейко сидела на холмике, у ног ее примостился Васька Кудри и наигрывал ей на рожке японские мелодии. Вернувшись в отель и лежа в постели, каждая думала о своем.

Проснулись все, когда уже было далеко за полдень. Слегка шумела голова. В дверь просунулась голова Кати.

- Ах вы, лентяйки, немедленно на речку купаться. Заодно расскажу новости.

А новости были такие. Обеспокоенный исчезновением девушек, Никанор Иванович Непанибратов устроил розыск. Японцы объявили, что если Рейко не найдется в течение суток, Россия должна отдать Японии Курильские острова, а заодно и Крым в придачу. Правительство России заявило свое несогласие с официальным мнением Токио, через час было опубликовано мнение Российского парламента, в котором выражалось несогласие с мнением Российского правительства, министр иностранных дел России в связи с инцидентом срочно вылетел в Пакистан. Российское телевидение постоянно передавало в записи интервью с Бурбулисом. Полторанин заявил о своей непричастности к этому делу, обвинив во всем крайне правые силы. Президент США на очередном брифинге дал понять, что он несмотря ни на что будет поддерживать курс реформ в России. Президент России вынужден был прервать свой отпуск и вылететь в Москву. Таковы были новости. Но все это было так далеко, что об этом никто не хотел и думать. Погода стояла отличная. Авгий Филиппович принес девушкам горячие пирожки с капустой.

- Как замечательно здесь у вас, вдали от пыльных городов, от бесконечной суеты, от сплетен, дутых сенсаций. Мне кажется, что время здесь остановилось. Правда, Джейн? - Джейн кивнула.

Вдалеке на лугу девушки водили хороводы, пели песни, сплетали венки из одуванчиков. Мимо прошли деревенские ребята с косами. Сенокос был в разгаре. Пели птицы. Солнце искрилось в воде. Все это было похоже на рай. Авгий Филиппович молчал. Он хорошо знал, что у всякого счастья есть оборотная сторона.

- Я вчера говорил вам, что у нас все то же, что и в Нью-Йорке, и в Токио. Мы многого достигли, но и мы не свободны от пороков.

- Хочу пороков, - захлопала в ладоши Джейн.- Хочу пороков и извращений.

- Хорошо, - медленно проговорил Авгий Филиппович. Девушки устремились за ним. Они подошли к небольшой аккуратненькой избушке.

- Здесь раньше был ужасный притон, - проговорил Авгий Филиппович. - Мы его разогнали. Но корни остались. Сейчас я вам их покажу, - протиснувшись в комнату, девушки с любопытством заглянули вовнутрь. Посреди комнаты на огромной кровати сидели два старичка лет по 90. Один, шамкая, вязал что-то на спицах, другой с трудом жевал морковку.

- Это - гомосексуалисты, - прошептал староста. - Они живут вместе как муж и жена уже 40 лет.

На стенах висели: портрет Шварцнеггера с обнаженным торсом, Оскар Уайльд с цветком в петлице, боксер-негр на ринге, Аполлон, играющий на флейте, и пара фотографий садомазохистского вида.

Староста жестами позвал девушек на улицу.

- Мы не скрываем наших недостатков. Подлинная демократия заключается не в сокрытии негативных сторон, а в их искоренении, - важно произнес староста. Девушки переглянулись и понимающе хихикнули.

- А здесь живет наш наркоман.

- Как мило, - воскликнула Джейн.- Пойдемте скорее, посмотрим.

Местный наркоман оказался человеком лет 30-ти с блестящими глазами и слегка выдающимися скулами. Он страшно обрадовался приходу гостей, усадил всех за стол, угостил чаем и предложил немного расслабиться.

- Вы правда наркоман? - осторожно спросила Марина.

- Конечно,- бойко подтвердил тот.

- А как вас зовут? - осмелела Рейко.

- Кока - сокращенно от Кокаин.

- А где вы берете кокаин? - спросила Джейн.

- Сам делаю, - довольно улыбнулся Кока. - Раньше я всегда очень страдал из-за перебоев с поставками. Вся эта ситуация с Ираком очень осложнила дело. Тогда я решил синтезировать наркотики искусственно. И я сделал открытие. Великое открытие. Пойдемте в комнату.

В соседней комнате стоял огромный железный механизм.

- Что это? - тихо прошептала Марина.

- Аппарат для производства героина. Все великие открытия невероятно просты. Путем химического анализа я расщепил молекулу картофеля и выяснил, что она содержит 0,00017 миллионных долей алкалоида, имеющего сходную молекулярную сетку с героином. Попросту

говоря, чтобы получить 1 г героина нужно пять тысяч тонн картофеля. А этот аппарат под огромным давлением прессует картофель в маленькие таблетки. Вот посмотрите. В этой маленькой таблетке содержится 10 тысяч тонн картофеля, которого у нас в деревне предостаточно.

Кока взял таблетку и, любовно поглядев на нее, отправил в рот. Через минуту его глаза заблестели, движения стали спокойными и он произнес: "Какой кайф - закинуться и отъехать. Девчонки, пошли в блюзовый клуб, рубанемся".

В блюзовом клубе под названием "Бараний свинг" было накурено и душно. На маленькой сцене рубилась ритм-энд-блюзовая группа. Простые веснушчатые деревенские лица ребят обрамляли растафарские прически. Много тонких косичек спускались до пояса. Они что-то пели о судьбе одинокого пастуха, о том, как его притесняют кровопийцы-демократы. Но пастух любит свою пастушку и ему пофиг эти козлы.

Староста с девушками, не торопясь, шли по деревне.

- Как у вас здорово, - говорила Джейн.- Все как у нас в Америке, даже возвращаться не хочется.

- А есть люди, которым все это не нравится. Это так называемые диссиденты-писсиденты, они спят и во сне видят, как бы сбежать из России. Есть тут у нас два таких типа. Вот посмотрите, - и он указал рукой на крышу одного из домиков. На крыше стоял совершенно голый человек, вываленный в перьях. К рукам у него были приделаны два огромных белых крыла.

- Уже восьмой год пытается улететь в Америку. Каждый год падает с крыши, год отлеживается в больнице, кости срастаются, раны заживают, он опять забирается на крышу и вновь пытается улететь в свою Америку, опять падает и так каждый год.

Девушки, потрясенные, молчали. Медленно идя вперед, они не заметили, как куда-то исчезла Джейн. Когда они спохватились, прошло около часа. Наконец Джейн появилась так же неожиданно, как и исчезла. Глядя на нее, подруги не могли удержать смеха. Джейн была вся в пуху.

- Где ты была, сумасшедшая? - хохоча, спросила Марина.

- Я просто хотела сама поговорить с этим замечательным человеком. Как он любит свободу. Он настоящий герой. Я просто полюбила его всем сердцем.

- Мне кажется, что не только сердцем, - хихикнула Марина, стряхивая с Джейн перья и пух. - Цыганка оказалась права.

- Тут у нас еще один есть, по прозвищу Изобретатель.

- Как, еще один? - воскликнула Джейн.

- Тоже хочет сбежать, только в Японию. У него висит дома на стене карта водного маршрута из деревни в Японию. По нашей речке Пеструшке в Оку, из Оки он намеревается попасть в Волгу, а там через Каспийское море, по озерам, через Красное море и Индийский океан, прямиком в Японию. Он изготовил себе водолазный костюм. Как только вода в Пеструшке нагревается до 28 градусов, он идет к реке, одевает костюм и спускается на дно. Вся деревня приходит его провожать. Как только он погружается, не срабатывает выпускной клапан, и он медленно

всплывает. Весь следующий год он чинит клапан и так каждый год. Видите толпу? Это они собрались его провожать.

Все подошли к реке. Человек лет 45-ти, с ежиком на голове и зеленоватым цветом лица, прощался с земляками, брал письма для передачи, обещал звонить. Он уже надел водолазный костюм, достал огромную карту, на которой стрелочками был намечен маршрут, сложил ее, убрал в специальный планшет. Потом улыбнулся, помахал всем рукой. Люди зааплодировали. Он прослезился, еще раз обнял двух или трех односельчан, надел шлем и, тяжело ступая на свинцовых подметках, начал медленно опускаться в воду. Жители махали ему на прощанье руками, женщины плакали. Наконец, он полностью погрузился. Наступила тишина. Прошло несколько минут. Вдруг на поверхности воды появились пузырьки воздуха, потом их стало больше и больше, наконец огромный фонтан забил из-под воды и на поверхность реки всплыло тело водолаза. С трудом сорвал он с себя скафандр и, громко чертыхаясь, вылез на берег.

- Клапан не сработал? - участливо спрашивали односельчане.

- Он самый, проклятый,- прохрипел неудавшийся путешественник и медленно побрел в сторону своего дома. Толпа разошлась.

Джейн расстроилась. Как человек, привыкший жить в реальной демократии, она очень чутко относилась к человеческим слабостям и чувствам и часто сопереживала им. Чтобы хоть как-нибудь развеселить ее, староста пригласил всех в местный "Диснейленд", который был построен на территории бывшей советской ракетной базы. Отсюда должны были стартовать межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Это место было раньше строго засекречено. Его не было ни на одной карте. В особо секретных документах это место проходило под кодовым названием "Мудак 18". Мудак расшифровывалось как "Межведомственное управление дистанционным атомным крокодилом". Крокодилом на языке генштаба называли баллистическую ракету, способную поражать цель в космосе. После рассекречивания территорию базы отдали детям. Там и построили "Диснейленд". Теперь любимым развлечением детей было нажимать разные кнопки и наблюдать, как открывались шахты, а оттуда медленно поднимались устрашающего вида гигантские ракеты. Это и называлось "Диснейлендом".

- Все развлечения у вас какие-то дикие. Ничего такого, что могло бы доставить радость обычному человеку. Хочется каких-то простых переживаний, например, любви, - мечтательно произнесла Джейн.

- Села на своего конька, - шепнула Марина Рейко.

- Как ничего такого, - возмутился Авгий Филиппович, - Месяц назад открыли телефонную Секс-службу в деревне. Как захочется любви - набираешь 08 и люби себе на здоровье.

- Давай позвоним, - шепнула Джейн Марине. - Может скажут что-нибудь, чего мы не знаем. Может, что-нибудь особенное.

- Не буду звонить. Посмотри на Рейко.

Рейко очень устала. Она не привыкла к таким развлечениям и втайне мечтала о покое или неторопливой кропотливой работе.

- Да, Рейко чего-то у нас загрустила. Рейко, хочешь найдем тебе японца? - Рейко улыбнулась.

- Честное слово, сейчас найдем. Он, правда, японец наполовину, мать русская. Но какой-никакой все-таки японец.

- А как он здесь оказался? - полюбопытствовала Марина.

- Это он вам сам расскажет. Пойдем? Рейко кивнула. Вскоре они подошли к домику, стоявшему от других в стороне.

- Только я вас не предупредил. Он того, двигаться не может. Результат контузии. Афганистан. Вы идите, а я вас покину, дел больно много.

Девушки в нерешительности остановились у двери.

- Раз уж пришли, войдем! - решительно сказал Джейн и постучала.

- Войдите, - раздался тихий голос, и девушки робко вошли в удивительную комнату. Они как будто попали в музей, на выставку, посвященную Японии. Фотографии из журнала "Япония" украшали все стены, вокруг висели причудливо разукрашенные веера, экзотические птицы, с любовью сделанные из дерева, несколько бонзай и много-много книг в цветных ярких обложках. И за всем этим сложно было сразу разглядеть хозяина, молчаливо сидящего в инвалидной коляске.

- Проходите, пожалуйста, я вам очень рад. У меня редко бывают гости, голос хозяина звучал мягко и приятно. Сразу бросалось в глаза его восточное происхождение, но форма носа говорила о том, что он наполовину русский.

- Нам очень неудобно, - смутилась Рейко.

- Ничего страшного, я действительно очень рад, - и молодой человек внимательно посмотрел на Рейко. На вид ему было лет 35.

- Как вас зовут? - полюбопытствовала Марина.

- Все зовут меня просто Япончик. Я уже отвык от своего настоящего имени. Мне даже прозвище стало нравиться.

- А что у вас...- Джейн запнулась.

- Афганистан. Осколок снаряда, перелом позвоночника. Паралич нижних конечностей. Бегать больше не доведется, - мрачно пошутил он.

- А как вы здесь оказались?

- Длинная и скучная история.

- Можете не рассказывать, - потупилась Рейко.

- Здесь нет никаких секретов. Отец во время войны попал в плен. Он из Осаки. Мостил дороги в Сибири. Там и познакомился с моей матерью. Эта была самая романтическая история, какую только сможет придумать природа. Они любили друг друга беззаветно и нежно. А потом...

- Что потом?

- Когда родился я, это было в 55-м, примерно через месяц после моего рождения, отец возвращался после работы домой. Нужно было пройти небольшой участок лесом. В общем, домой он не вернулся. Кто-то выстрелил почти в упор. Мать поседела от горя. Ее больше ничего не удерживало там. Похоронив отца, она вернулась в Задумчивый Мох, деревню, где она родилась и выросла, и где жили ее родители. Но она уже не видела никакого смысла в жизни. Скоротечная чахотка, и я остался один.

- Какой ужас, - пробормотала Рейко.

- Бедненький, - прошептала Джейн и отвернулась.

- А потом уже совсем просто. Меня призвали в Афганистан. Остальное вы уже знаете. С тех пор я очень много думал об отце. Мне кажется, что я люблю его сейчас больше даже, чем мог бы любить в детстве. Мать мне рассказывала, что отец часто любил повторять: "Ты знаешь, Мария, как я хочу еще раз побывать на Фудзи. Вроде, ничего особенного, а что-то очень важное. Если мне когда-нибудь удастся вернуться, я сразу же взойду на Фудзи. Тогда моя жизнь обретет смысл, и я обрету покой. Только бы дожить до этого". Но судьба распорядилась иначе. Мне кажется, что мечта отца стала и моей мечтой. Я никогда не был в Японии и знаю, что уже никогда не буду, но я могу мечтать. Для меня мечтать - это значит жить. Каждую ночь я вижу один и тот же сон - я стою на вершине Фудзи, рядом со мной отец, мы смотрим вниз, и к нам медленно поднимается наша мать. Мне даже становится страшно, что если вдруг моя мечта осуществится, мне незачем будет больше жить.

Рейко плакала. Даже Джейн незаметно утерла глаза. Марина уставилась в одну точку.

- Простите, я не хотел вас так огорчать.

- Вы обязательно, обязательно попадете в Японию и обязательно окажетесь на вершине Фудзи. Мечты должны сбываться. Иначе это не мечты, а иллюзии, - и Рейко со слезами выбежала из дома.

- Рейко, подожди, куда ты, - и девушки бросились за ней.

Япончик грустно смотрел им вслед. Глаза его странно светились.

Марина и Джейн нагнали Рейко у реки. Она рыдала.

- Я стала совсем другой. За эти два дня я так изменилась, что уже никогда не буду прежней. Я люблю этого человека. Я обязательно помогу ему. Я хочу это сделать немедленно. Я не хочу здесь больше оставаться. Я скоро сюда вернусь и заберу его с собой.

- Рейко, милая, успокойся. Давай сначала попрощаемся с Катей, Колей, Авгием Филипповичем...

- Нет, если хотите, оставайтесь, я сама доберусь до города.

- Мы не можем тебя оставить одну. Поехали. Они молча сидели на пароме. Паромщик неторопливо курил трубку.

Деревня медленно исчезала вдали. Рейко плакала безмолвно.

- Как же его все-таки зовут? Ведь мы только прозвище знаем. Япончик, да Япончик.

- Миша его зовут,- паромщик вынул трубку изо рта. - И никакой он не японец, а тувинец.

Девушки замерли. Рейко смертельно побледнела.

- Его контузило в Афганистане в голову. Долго не мог прийти в себя, а когда очнулся, уже ничего не соображал. Полная каша в голове. Решил, что он японец, сочинил какую-то идиотскую историю про отца-японца. А отец его жив-живехонек, сидит в той же деревне. Вон видите вдалеке маленький желтый домик. Тувинец он, а никакой не японец. Водку трескает, будьте нате. Вся деревня делает вид, что все правда, чтобы не расстраивать человека, инвалид все-таки.

Паром причалил к берегу. Рейко, шатаясь, выбралась на берег. Ее подхватили под руки подруги.

- Это неправда, неправда, вы меня обманываете. Я вам не верю.

- Рейко, милая, пойдем, лапушка, холодно, ты простудишься.

Недалеко на пригорке стоял знакомый серый "Мерседес".

- А я за вами. С трудом разыскал. Завтра в 10 утра - открытие конференции, а вы где-то шляетесь. Ну и видок у вас. Садитесь скорее в машину, согреетесь.

Девушки залезли в машину. Все трое молчали. А Никанор Иванович продолжал болтать, как ни в чем не бывало.

- Пока вы пропадали, тут такое случилось. Знаете тут недалеко деревню Задумчивый Мох? История как в кино. Какой-то местный псих решил, что он умеет летать. Взобрался ночью на крышу своего дома и прыгнул. Естественно, головой в землю. Ему хоть бы что, говорят, не впервой. А дыру в земле пробил чуть ли не на полметра. Смотрит, а из-под земли фонтан черный. Вся деревня сбежалась. Нефть оказалась. Сейчас по подсчетам наших специалистов месторождение по своим запасам богаче всех кувейтских и саудовских, вместе взятых. Фантастика. Я уже купил акций на 100 миллионов долларов.

Девушки улыбались сквозь слезы.

Жизнь продолжалась.

Порок и святость

Литературный сценарий

* Публикуется один из ранних вариантов сценария (из архива С. Курёхина).

(c) Благотворительный Фонд Сергея Курёхина. (c) Сергей Дебижев.

Картина первая

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ

30 декабря 1899 года. Панорама Швейцарских Альп перед рассветом. Дивные виды с птичьего полета. Между гигантских вершин, по теряющейся в снегу дороге, движется кабриолет. Авто с открытым верхом (образца 1899 года). За рулем молодая женщина в прорезиненном макинтоше, сзади двое девочек. Лица всех троих скрыты очками-масками от ветра и снега. Из предрассветной

тьмы фары выхватывают полный опасности путь. Отражения прыгают в стеклах очков. Лакированный капот автомобиля покрыт налетом инея.

Первые лучи солнца врезаются в пики вершин. Огромный горный орел, посверкивая ледяными очами и балансируя крыльями, стремительно опускается к автомобилю. Клара (так зовут женщину за рулем) извлекает из-под сидения арбалет и, не отрывая взгляда от дороги, спускает курок. Пробитая навылет птица падает под колеса автомобиля, - тот подпрыгивает на ее тушке. Дети аплодируют, при этом мы замечаем, что запястья их рук скованы колодками. Светает.

Картина вторая

ИСТОРИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

После полного дня пути, проходящего вдоль спящих под снегом лугов, авто въезжает в долину. Горный склон усеян каменными башнями, характерными для этих мест. Величественный пастух в папахе и бурке поднимает голову на шум мотора. Обдав облаком снега пастуха и распугав овец, кабриолет растворяется в белизне экрана. Из нижней части кадра ползут печатные буквы в виде панорамы по книжной странице. Сопровождаемый голосом текст повествует об основных событиях последней четверти XIX века: религия, политика, искусство, наука и техника.

Картина третья

ТАИНСТВЕННАЯ

Преодолевая полосу сильного дождя, авто мчится дальше. Клара, всматриваясь в дорогу, протирает лобовое стекло. Дети на заднем сиденье над чем-то смеются, оживленно перешептываясь. Дорога идет серпантином. За одним из поворотов вдруг открывается зеркальная перспектива моря. Озаренное заходящим солнцем, оно несет состояние величия и спокойствия. Спускаясь все ниже, автомобиль въезжает в погружающийся в сумерки южный город. Разом вспыхивают газовые фонари - словно отмечают это событие. Город украшен новогодними гирляндами, окна домов освещены. Праздничное состояние дополняется иллюминацией улиц, которые в силу приближающегося праздника довольно пустынны.

Клара резко тормозит, едва не столкнувшись с роскошным "Рено". Она встречается глазами с пожилым благообразным господином, сидящем позади шофера. Клара вздрагивает. Мы понимаем, что они узнали друг друга. Дети притихли, вжавшись в кожаные сиденья. Экипажи разъезжаются, причем камера следует за "Рено".

Картина четвертая

СВЕТСКАЯ

31 декабря 1899 года. В роскошном палаццо идет пышный прием по случаю празднования Нового года и Нового века.

К парадной лестнице то и дело подкатывают шикарные автомобили и экипажи. Ослепительные дамы в мехах и бриллиантах, в сопровождении безукоризненных господ, поднимаются по лестницам. Горят канделябры, озаряя мраморные балюстрады, дорогую мебель, фамильные полотна в резных золоченых рамках. Огибая огромную новогоднюю елку, лакеи разносят шампанское. Звучит французская, немецкая, русская и непонятная речь. Оркестр играет "Адажио"

Сальери. Все ждут приезда известного социалиста Плеханова, с увлечением обсуждая его личность.

- Наконец передо мной словно предстало все устройство мира, несущегося перед моими глазами, как неразрывная бесконечная цепь... (Обрывок разговора между двумя гостями.)

Экзотический посол, наклоняясь к дамам:

- Я хочу построить себе трон на огромной холодной горе, окруженной человеческим страхом, где царит мрачная боль... и веселая шутка.

Дамы смеются.

Старая дама:

- Вы умрете от рака ротовой полости, голубчик.

Посол: - Это произойдет 2 января 1901 года, т. е. ровно через год и два дня. Вы же, сударыня, погибнете через месяц от кровоизлияния в мозг... Несчастье какое!

Дама: - Без ясного взгляда на смерть нет ни порядка, ни трезвости, ни ума, ни красоты.

Некто: - Да у вас просто общество взаимного восхищения.

Дама: - Ну где же Плеханов? Мне не терпится узнать, чем закончился его американский вояж.

Некто: - Элементарная честность требует признать, что Плеханов человек со своей собственной системой мышления.

Дама: - Я слышала, что на нем лежит проклятье третьей степени.

Некто, протягивая вазу с фруктами: - По плодам их узнаете их...

Верхом на белом коне появляется Плеханов.

Дамы наводят лорнеты на всадника. Хозяин дома, Роберт Добролюбов, отставной адмирал императорского флота, представляет Плеханова гостям. Среди прочих он знакомит гостя с известным пуантелистом Жоржем Сера.

Роберт: - Разрешите вам представить господина Сера. Надеюсь, вы слышали о его новой системе живописи.

Плеханов: - Разве он еще жив? Сера (не поднимаясь с кресла): - Я переживу не только вас, но и свою славу.

Плеханов: - Друг мой, откуда такая уверенность? Трудно разобраться в предначертаниях судьбы, так же как постигнуть скрытый смысл всего сущего.

Сера: - Для художника все иначе. Стоит ему посмотреть на лицо человека, чтобы разобраться в его душе: ни одна черта его не обманет, двуличность для него так же ясна, как искренность, он провидит тайну сердца даже в едва заметном движении брови. И жизнь для него - бесконечное наслаждение, непрерывающийся восторг, страстное опьянение.

Плеханов, садясь на открытые клавиши рояля: - Жизнь скоротечна, мой друг, не стоит к ней так привязываться.

Сера: - Первый же час, давший нам жизнь, укоротил ее. Я устал, извините меня.

Плеханов: - Вы уверены, что вам не нужен врач? Эта риторическая стычка характеризует Плеханова как человека мудрого, саркастического, с легким демоническим налетом. Сера, в свою очередь, предстает защитником высоких идеалов искусств.

Тем временем толстый церемониймейстер объявляет о наступлении XX века. Камера скользит по нему сверху вниз. На крупном плане мы видим, что у него развязан шнурок на ботинке.

Картина пятая

ОСВЕЩЕННАЯ ЛУНОЙ

К заднему двору палаццо подъезжает известный нам "Рено", из него выходит господин в цилиндре и углубляется в кипарисовую аллею. Часы на башне бьют полночь. Подойдя к стене дома, он нажимает на один из кирпичей и исчезает в образовавшемся проеме. В звездном небе взрываются ракеты фейерверка, освещая ликующий город.

Картина шестая

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩАЯ

За праздничным столом Плеханов с воодушевлением излагает свои взгляды на происхождение жизни. Среди прочего, он затрагивает тему неспособности животных к творческому самовыражению. А также об отсутствии у них тяги к алкоголю. В этот момент в залу вбегают дети во главе с сыном хозяина, Александром. Перед ними бежит розовый поросенок в расшитой жемчугом жилетке и золотых башмачках. Набрав скорость, поросенок прыгает на колени к Плеханову. Тот в испуге опрокидывает бутылку красного вина. Поросенок с наслаждением лакает из лужи. После легкого замешательства идет очередная перемена блюд, прихотливых и необычных по форме. Хозяин, обходя гостей, делает некоторым тайные масонские знаки. Те незаметно оставляют залу.

Картина седьмая

МАСОНСКАЯ

В потайной малахитовой комнате магистр Роберт опускается на трон, украшенный масонской символикой. Члены ложи облачаются в мантии со священными знаками. Комната представляет из себя сочетание монументальности и изящества. Пол, потолок, стены, мебель, а также мелкие предметы инкрустированы малахитом и украшены деталями из золоченой бронзы.

Роберт: - Любезные братья, близится час Виноградной Лозы. Я хочу сообщить вам следующее: вы знаете, что существование этой комнаты в доме открылось поистине чудесным образом. Третьего дня я проводил тщательное ее обследование. Мои усилия не были напрасны: мне открылась священная энциклика нашего ордена, где есть пророчество, связанное с сегодняшней ночью. В нем сказано (Роберт развернул пергаментный свиток, один из братьев поднес поближе шандал): "В ночь, когда умрет старый Век и стрелки на циферблате Большого Вепря сомкнутся на цифре 1,- явится Он".

К Роберту подвели одного из членов братства - высохшего, трясущегося старика с безумным взором.

- Скажи, брат Хронос, ты видишь...- медленно спросил Роберт.

Старик забился в конвульсиях, лицо его исказилось, на губах выступила пена.

- Здесь... Он здесь, я чувствую...- прошамкал Хронос.

Братья в сильном возбуждении зашевелились, обращая взоры к часам, выполненным в виде бегущего кабана. Стрелки в форме пальцев медленно ползли к цифре 1. Тишина повисла в воздухе. Вдруг комната наполнилась мерным боем часов. Хронос было забился в падучей, но его сосед незаметно дал ему по ребрам. Хронос затих. Магистр Роберт пребывал в отрешенной медитации. Неожиданно малахитовая плита в центре стола отползла в сторону. Из проема, движимый бесшумным механизмом, появляется торс Посланника. Мы узнаем пожилого господина из "Рено".

Лицом он обращен к магистру, который приветствует его особым масонским поцелуем. Один из братьев, скептически ухмылявшийся минуту назад, стоит словно в столбняке. У его ног расплывается лужа.

Посланник: - ЧАС ПРОБИЛ, И ПСЫ ДИКИХ ЕГЕРЕЙ ВНОВЬ ПЕРЕГРЫЗУТ СВОИ ЦЕПИ...

Картина восьмая

ВОДЕВИЛЬНАЯ

В это время Плеханов мечется по дому в поисках туалетной комнаты. Открыв одну из дверей, он видит ритуальную сцену приема в члены масонской ложи. (Изображение становится графическим в стиле гравюр XVIII века.) Вступающий лежит на ковре, вышитом языками пламени. Присутствующие приставляют к его телу обнаженные шпаги, горят метровые свечи, звучит сакральный текст.

Не дожидаясь конца ритуала, Плеханов, движимый физиологической нуждой, отправляется дальше. Уже на грани срыва, он оказывается в большом овальном зале.

В центре зала стол, ломберная часть которого заменена водой, где плавает макет большого корабля с надписью "Титаник" на борту. У стола собралась группа сухоньких старичков. Эхом доносятся обрывки фраз.

- Но ведь пострадают ни в чем не повинные люди.

- Человечество в принципе не может освободиться от своих всеобщих условий бытия - страданий, мучений и, наконец, смерти.

- Сколько, по вашему мнению, уйдет времени на строительство судна?

- Здесь необходимо учитывать уникальность проекта. Длина этого плавучего города будет равняться

268 метрам. 50 тыс. тонн действительного водоизмещения. Ну и рассчитан он будет на 3790 человек. Отсюда ясно, что для сооружения подобного колосса потребуется не только талант

инженеров и мастерство техников, но и постройка специальных доков и эллингов, оборудованных различными приспособлениями для сооружения судна и спуска его на воду. Что же касается затрат, то по предварительным расчетам они составят 50 миллионов франков.

- И Вы собираетесь утопить такие деньги?

- Игра стоит свеч. Я думаю, нам таким образом удастся избавиться от многих наших недругов... Если не от всех.

Далее переминающийся с ноги на ногу Плеханов слышит, как председательствующий излагает план уничтожения цвета европейского общества и последующего захвата власти.

ТИТР: "Титаник" затонул 14 апреля 1912 года.

Рука Плеханова дергает ручку сливного бачка. (Кадры хроники морской катастрофы.) Взгляд Плеханова падает на выложенный узорными керамическими плитками пол. На каждой из плиток начертаны различные знаки и символы. Плеханов, порывшись в карманах, извлекает кожаный блокнот. Перелистывая страницы, испещренные символическими рисунками, он находит изображение, в точности соответствующее мозаике на полу. Отметив что-то на рисунке, он наклоняется к полу, вынимает одну из плиток и видит в образовавшемся окошке сцену в малахитовой комнате. Сидящие за столом члены братства слушают Посланника:

- Народ не способен усвоить моральные идеалы помимо идей повиновения... От него требуется повиновение... и верность.

Хронос: - Относись к вышестоящим с почтением, а к народу с добротой...

Роберт останавливает Хроноса взглядом.

Посланник продолжает:

- Авторитет жрецов санкционирует власть. Наш путь - путь сознательного союза со смертью. Нам нужны люди, способные действовать независимо от своего интереса и выгоды. Ведь осуществление желаемого порядка отождествляется с восхвалением порядка существующего. Человеческие чаяния могут получить свое отражение лишь в сфере сверхъестественного, в питаемой верой надежде.

Я прибыл сюда с тем, чтобы вручить Вам Священный Ключ. Прошу тебя, брат Роберт, принять этот ларец блюменкрейцеров.

Магистр открывает шкатулку и перед его взором на черной бархатной подушечке предстает драгоценный ключ, выполненный в форме свиной головы, усыпанной бриллиантами.

Картина девятая

ВОЕННАЯ

Этот же ключ (отъезд) мы видим в руках полковника русской армии Добролюбова - сына магистра. Ныне -личного адъютанта императора Николая II.

Поздняя осень 1914 года. Первая Мировая Война. Окопы под Верденом.

Кругом взлетает взорванная земля. В стереотрубу мы видим, как, развернув знамена, офицерский корпус легендарного генерал-лейтенанта Каппеля печатает шаг. Стройные ряды блестящих офицеров в парадной форме, как одно целое, с ошеломляющим спокойствием двигаются на неприятеля.

"Психическая атака".

Коварные германцы применяют газы. Лица каппелевцев искажают гримасы страданий. Георгиевские кавалеры, задыхаясь, корчатся с выпученными глазами.

Ползут громоздкие танки. В небе реют аэропланы. Непрерывно строчат пулеметы.

Раненый в руку и обе ноги полковник Добролюбов задыхается, кровь идет горлом. Чтобы впустить воздух в легкие, он в отчаянии прокалывает себе горло штыком. Его однополчанин, поручик Воинов, расстегивает ему китель... Выхватывает драгоценную шкатулку и, верный лозунгу - "Если не можешь справиться, присоединяйся к противнику", бежит в сторону германских позиций, размахивая в воздухе белым платком.

Добролюбов теряет сознание.

Картина десятая

МЕДИЦИНСКАЯ

Над истекающим кровью телом адъютанта царя склонились светила полевой медицины.

Во время операции он бредит, повторяя слова Посланника, обращенные к его отцу.

Добролюбов остается в живых, но теряет способность говорить.

Император, посещая его в госпитале, делится с ним своими переживаниями о судьбах Родины. Фотограф делает снимок их беседы.

По приказанию Николая Добролюбову изготавливают специальный горловой механизм, который частично возвращает ему речь.

Картина одиннадцатая

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

На экране карта Европы. Крупный план руки с красным карандашом, прокладывающим извилистую линию от Цюриха через Берлин и Стокгольм к Петрограду. (Надписи на немецком языке.)

Голос за кадром (по-немецки):

- По нашим подсчетам в Петроград они прибудут вечером 3 апреля. Вы будете сопровождать их до границ Германии. Возьмите с собой этого перебежчика Воинова в качестве связующего звена. Это вы получите по возвращении.

Рука, оставив карандаш, передвигает по карте открытую коробочку с немецким крестом и золотые плетеные погоны, которые лежат на перевязанной ленточкой пачке денег.

- А это передайте Ленину (рука передвигает по карте еще одну пачку денег). Экран темнеет.

Картина двенадцатая

ВЗРЫВООПАСНАЯ

1917 год. Ночь с 28 на 29 марта. Германия. Первая Мировая война в разгаре.

Отрезок железной дороги между Ганновером и Берлином.

Луч локомотива разрезает темноту.

Посверкивая в темноте горловым механизмом, Добролюбов закладывает взрывчатку на мосту через Эльбу.

Протянув провода к укрытию на берегу и присоединив их к рубильнику, он ждет, когда появится поезд.

В мирный стрекот цикад врывается паровозный гудок - поезд приближается к мосту.

Чья-то рука со щипцами перекусывает провод как раз в тот момент, когда Добролюбов поворачивает ручку взрывателя. Он еще и еще раз давит на ручку, но тщетно. Посверкивая окнами единственного вагона, поезд спокойно проезжает мост.

В окнах вагона мы видим проходящих панорамой Ленина, Крупскую, Инессу Арманд, Воинова и группу евреев с пейсами. Это тот самый поезд, вышедший из Цюриха 27 марта, в котором под охраной немецких офицеров группа большевиков возвращалась в Россию с целью захвата власти.

Добролюбов, получив чем-то тяжелым по голове, теряет сознание.

Картина тринадцатая

ИДИЛЛИЧЕСКАЯ

Зима 1918 года. Морозное утро в Подмосковном монастыре.

Монахини после заутренней молитвы заняты обыденным трудом - пекут хлеб, кормят свиней и птицу. Убирают двор от снега.

Молоденькая послушница с коромыслом выходит из ворот монастыря, спустившись к реке, она натыкается на медведя-шатуна. В страхе, прижав к себе ведро, она бежит обратно. Медведь за ней. У ворот послушница падает. Из треснувшего деревянного ведра вытекает вода. Медведь на секунду задерживается - нюхает воду и вновь бросается за девушкой, но натыкается на только что захлопнувшуюся калитку. Разъяренный зверь бьет когтистыми лапами по воротам. В этот момент за его спиной раздается выстрел - медведь падает в монастырь врываются красные.

Картина четырнадцатая

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННАЯ

Пьяные красноармейцы куражатся над монашками, швыряют в костер бесценные иконы, стреляют в бегающих по двору индюков.

Этим бесчинством руководит комиссар Воинов, бывший офицер корпуса генерала Каппеля. Он тоже нетрезв.

Воинов подъезжает на коне к стайке испуганных босоногих монашек и требует, чтобы они выпили за здоровье мировой революции, чем доводит их испуг до крайности. Хохоча, он под угрозой маузера заставляет оказавшегося тут же красноармейца Ваську Свистунова вступить в скотоложескую связь со свиньей. Весь двор замер, наблюдая эту противоестественную сцену. Оглохший от визга насилуемой свиньи и разочарованный неудачей красноармейца, Воинов одним выстрелом пристреливает обоих. Двор снова приходит в движение. Обернувшись к монашкам, Воинов возвращается к тосту. Сестра Мария подносит бокал шампанского к губам, но внезапно выплескивает его в морду лошади. Та отшатывается, встает на дыбы, в этот момент раздается выстрел, лошадь падает.

Воинов, перевернувшись в воздухе, вылетает из седла - в монастырь врываются белые.

Под предводительством Добролюбова они прыгают с монастырских стен. Происходит битва. Добролюбов долго и отчаянно рубится с озверевшим Воиновым. Фортуна переходит из рук в руки. Раненый, в окровавленной рубахе, с крестом на груди, Добролюбов, лишившись шашки, хватает затоптанное в снегу красное знамя. Используя его как пику, наносит удар в живот Воинову и пригвождает его к мертвому красноармейцу, сжимающему в своих объятиях холодеющую свинью.

Белые побеждают.

Оставшихся в живых красноармейцев уводят расстреливать за стены монастыря. Добролюбов набрасывает свою шинель на полуобнаженную Марию и уводит ее в келью.

Картина пятнадцатая

ПРАВОСЛАВНО-ЭРОТИЧЕСКАЯ

Внезапное чувство соединяет благородного офицера и еще не принявшую постриг прекрасную монашку. Добролюбов убеждает Марию вернуться в мир. Та плачет от счастья.

В порыве любовных чувств Добролюбов лишает Марию девственности. Во время оргазма Мария видит фантастической красоты звездное небо. Счастливая, она плачет, кутаясь в шинель возлюбленного.

Картина шестнадцатая

ЖУТКАЯ

Сумерки. Добролюбов выходит наружу покурить. Зябко поводит плечами. Проходит по двору, лавируя между павшими. Выходит за ворота. Долго смотрит на труп медведя, потом в небо, на молодой рогатый месяц. Вдруг, оступившись, он подскальзывается на застывшей луже, падает в снег и катится под гору. Окончательно продрогнув, он быстро карабкается назад, входит во двор, подбирает шинель Воинова с красными застежками-"разговорами", набросив ее на плечи, он возвращается в келью. В дверях, в полутьме Мария, очнувшись, видит офицера в ненавистной красной шинели. Ей показалось, что это ее мучитель, комиссар Воинов. Схватив револьвер Добролюбова, Мария несколько раз стреляет...

Добролюбов падает замертво.

Картина семнадцатая

КОМИЧЕСКАЯ

Ночь. Молодой месяц, звезды. Через все небо движется комета.

Длинная панорама по монастырскому двору. Догорают костры, собаки нюхают пропитанный кровью снег. В звездном свете на лице пригвожденного знаменем Воинова блестит иней. Его блеск мягко переходит в блеск золотых икон в алтаре. Мы видим Марию, склонившуюся перед распятием в несоизмеримо гигантском соборе.

На распятие садится голубь (символ непорочного зачатия).

Мария кладет руку на живот - она беременна. Гаснут свечи и вместе с ними гаснут звезды над монастырем.

Светает. Вдали проходят лев и единорог.

Картина восемнадцатая

АНАРХИЧЕСКАЯ

Ноябрь 1918 года. Деревенская изба. Нестор Махно принимает роды у Марии. В сени вбегает адъютант:

- Нестор Иванович, красные ползут.

- Боже правый, отовсюду красные ползут, - отвечает Махно, вынимая ребенка.

Положив его на стол, он берет шашку и со словами: "Необходимо отрезать их от основных сил",- обрубает пуповину.

Ослабевшая Мария принимает сына из рук славного атамана. Махно целует счастливую мать и, звеня шпорами, отправляется рубить красную сволочь.

В позе Мадонны Мария кормит новорожденного. По ее лицу наплывом проходят кадры хроники гражданской войны. Звучит героическая музыка.

На порог врывается запыхавшийся Махно. Он прямо из схватки, лицо рассечено, в руке окровавленная шашка. Другой рукой (высунутой наружу) он держит под уздцы горячего скакуна.

Махно: - Я тут пока шашкой махал, прикинул, что забрал я тебя из монастыря на Пасху, а ведь малец не похож на семимесячного. Чей же он, Машенька, голубушка?..

Мария молчит, по щекам ползут слезы. Переведя дух и еще немного потоптавшись на пороге, Нестор Иванович снова отправляется в бой.

Мария перед зеркалом обрезает волосы.

Картина девятнадцатая

СУПРЕМАТИЧЕСКАЯ

1925 год. Москва. Выставка футуристов.

Большой зал, увешанный картинами. (Изображение черно-белое, сделано под хронику, по экрану бегут царапины. Прерывистый монтаж.)

Камера отъезжает от картины Казимира Малевича "Черный квадрат".

Мы видим Марию с шестилетним Ильей, рассматривающими супрематические опусы.

Выставку посещает министр культуры Луначарский. Он окружен художниками и искусствоведами, которые раболепно убеждают его в том, что будущее за простыми формами.

Луначарский не слушает, он, не отрываясь, смотрит на Марию.

Мария увлеченно беседует с Малевичем, одетым в разноцветный балахон, как на своем знаменитом автопортрете. К ним подходит Маяковский. Видно, что он изрядно пьян.

Маяковский: - Будьте осторожны, Машенька, на вас смотрит сам министр культуры.

Мария: - Осторожность - это удел слабых.

- Да, вы правы, дитя мое,- отвечает он и, вдруг повысив голос, чтобы слышали все: - Только Октябрь дал новые огромные идеи! Товарищи формовщики жизни, у нас есть право на эксперимент. Создадим язык для безъязыкой улицы. Она, бедная, корчится безъязыкая - ей нечем кричать, разговаривать. Мария: Поясничаете, Володя.

- Все, друзья, я отталкиваюсь от вас как лодка от берега, - говорит Маяковский, выпуская папиросный дым. Повернувшись, он удаляется неровной походкой, цепляя по пути первую попавшуюся даму.

Мария: - Иногда он несносен.

Малевич: - Однако, он прав. Этот сиятельный старец не просто сердцеед средней руки. Я не удивлюсь, если он сегодня же предложит вам руку и сердце.

- И я, пожалуй, приму их, - спокойно говорит Мария.

Она переводит отрешенный взгляд на картину "Крестьяне". Изображение становится цветным, диагонально раскрашенные персонажи оживают и начинают механически двигаться в супрематическом угаре. Мультипликация постепенно переходит в кинокадры из фильма Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин"".

Мы видим Марию с Ильей, Луначарского и Горького в кинотеатре. Под стрекот проектора Горький предлагает Марии съездить с ним на Капри.

На экране проходят кадры обнаружения червей в мясе.

Картина двадцатая

ПОЛНАЯ ПОДВИГОВ

Весна 1930 года. Италия. Остров Капри. Утопающая в зелени вилла Горького. Солнечным днем Алексей Максимович, Мария и одиннадцатилетний Илья возвращаются с автомобильной прогулки. За рулем сам писатель, поэтому машина виляет и перед самым домом врезается в

садовый инвентарь. Ползающий тут же одноногий садовник получает граблями по лбу. Все смеются, включая потирающего лоб садовника. Илья щелкает фотоаппаратом из машины.

Горький активен, широко жестикулируя, он говорит без остановки. Шумной компанией они вываливают из авто вместе с огромным черным ньюфаундлендом, который пугает гуляющих тут же белых козочек.

Горький: - Ну, друзья мои, теперь - обедать! Рыбы! Первым делом, и ни какой-нибудь этакой, а такой, чтобы не рыба была, а лошадь!

В ответ хлопочущая рядом толстая итальянка-домработница с акцентом сообщает, что рыбаки еще не вернулись. Горький игриво сердится. Все его поведение говорит о том, что он влюблен и его отношения с Марией далеки от простой дружбы.

Ванная комната. Крупным планом возбужденное лицо Марии, кусающей губы до крови. Обеими руками она опирается о край ванны. Горький пристроился сзади. В руке у него опасная бритва, лицо покрыто мыльной пеной.

Оправившись после оргазма, он продолжает бриться, цитируя фразы из своих произведений. Обнаженная Мария моется в ванной. Выжимая лимон, она обтирает себя соком. Горький обращает на это внимание.

Мария: - От мужиков только так можно отмыться... Да, давно я не видела звездного неба.

За вечерним чаем Алексей Максимович, сильно окая, рассказывает Марии о Ленине и о своей статье "Несвоевременные мысли".

Горький: - Да, Машенька, да, надули нас, голубушка.

- Как шарики, - смеется Илья, стоя с биноклем у окна и глядя в ночь.

- И разлетелись мы по всему свету, - грустно добавляет Мария.

Горький мрачнеет: - Господи, душно-то как... Говорил я им, говорил: "Кто посеет ветер - пожнет бурю".

Словно в ответ на эти слова вдалеке гремит гром. Небо рассекают молнии. Надвигается ураган.

Внезапно порыв ветра распахивает окно, занавеска, лизнув подоконник, вылетает наружу. Алексей Максимович бросается к окну и, освещенный вспышками молний, под аккомпанемент громовых раскатов начинает читать "Буревестника".

"Над седой равниной моря..."

Берег. На утесе мы видим обдуваемого ветром Плеханова. Стоя в позе Мефистофеля, он смотрит на айвазовские волны. Начинается ливень.

"...ждите, скоро грянет буря..." Нет, нет, пусть сильнее грянет буря. Илья смотрит на писателя в бинокль, переворачивая его то так, то этак.

Последние слова "буревестника" смешиваются с какими-то криками на улице. Горький видит бегущего по дорожке к дому человека. Это промокший до нитки садовник. С трудом переводя

дух, он умоляет помочь тонущим рыбакам, среди которых его сын Антонио. На лбу садовника посверкивает шишка результат дневного происшествия.

Горький, как был в домашних тапках, бросается на помощь.

В свете молний мы видим, как утлую лодчонку захлестывают огромные волны. В небе реет альбатрос.

Горький спасает всех рыбаков, а также вытаскивает из пучины огромного тунца. Мария прижимает к себе взирающего на эту сцену Илью, которого она догнала только у воды.

Вместе с обессилевшим писателем, прижимающим к себе тунца, они возвращаются к дому. Поравнявшись с машиной, Алексей Максимович накалывает босую ногу. Застонав от боли, он передает тунца Илье и, сев на бампер, начинает вынимать занозу.

Его огромная фигура в этой позе выглядит довольно нелепо.

Мария смотрит на писателя со смешанными чувствами.

Дождь хлещет с прежней силой. Молнии освещают сад.

Неожиданно Горький вскакивает и начинает сетовать, что не закрыл верх у машины и теперь придется менять кожаные сидения, а он их недавно менял... В общем, речь его становится похожей на бред. Понимая это, Мария с домработницей уводят Горького в дом,

В дверях он бьется мизинцем ноги о косяк. Ньюфаундленд облизывает кровь, потом отряхивается, забрызгав все вокруг.

Горького усаживают у горящего камина. Илья протягивает ему полотенце.

- Пламя - очень важная штука, - мягко говорит Горький Илье. - Помнишь, мы смотрели на отражение солнца в куске кварца? (Илья кивает.) Чаще смотри на пламя. Пламя способно нести тебя в глубины неизвестного.

Мария ведет Илью в ванную, а Жизель с тунцом отправляется на кухню.

Неугомонный Алексей Максимович по инерции берет в руки второй том "Войны и мира", но усталость дает себя знать. Горький засыпает, книга соскальзывает с его колен прямо в камин. Огонь, перебросившись на занавески, начинает охватывать комнату. В подвале искрит проводка. В окно влетает шаровая молния.

Разбуженный лаем собаки, Горький спасает Марию, Илью и домработницу Жизель.

Из огня Мария вынесла самое дорогое - шкатулку и горловой механизм Добролюбова. Илья близок к истерике, он сжимает в руках перепуганного котенка, посматривающего на тунца, которого держит Жизель. Горький, поглаживая собаку, смотрит на пылающий дом.

На берегу мы видим Плеханова. Его лицо отражает целую гамму чувств. Поставив руки по швам, он бросается в пучину. В полете он превращается в огромного переливающегося тунца.

Крупным планом проходят лица погорельцев. Все плачут, кроме Марии.

По экрану идут трещины - изображение осыпается, за ним пугающая чернота, в которой проносится огромный самолет "Максим Горький". Из облаков выходит молодой месяц.

Картина двадцать первая

НЕНАСТНАЯ

Ночь. Сильный дождь. Самолет садится на правительственной полосе в Москве. Мария с Ильей спускаются по трапу. Их встречает т. Калинин. Он стоит у блестящего черного "Мерседеса". Водитель держит над патроном зонт. Вокруг вооруженная охрана с фонариками и собаками.

По дороге в город, пользуясь тем, что Илья спит, Калинин сообщает о смерти Луначарского и снова заводит разговор о женитьбе. Он обещает Марии комфорт и спокойствие. Та молча кивает. Поперхнувшийся во сне Илья натужно кашляет.

Автомобиль уносится в ночь.

Из темноты со скоростью авто проезжают цифры "1938".

Картина двадцать вторая

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

Камера отъезжает от мемориальной доски с надписью "Максим Горький", вмонтированной в Кремлевскую стену.

Мы видим Марию с Ильей на Красной площади.

Илья уже молодой человек, он в форме курсанта Суворовского училища. Мария целует его в лоб и говорит напутственные слова. Илья торопится. У него сегодня вступительные экзамены в Высшей школе НКВД.

За массивным, покрытым бархатом столом сидят члены Приемной комиссии. Голый Илья стоит посреди зала с невероятно низким потолком. Его босые ноги в центре специально нарисованной на полу звезды.

Комиссия настолько далеко, что ему приходится всматриваться.

- Вы готовы отдать жизнь за товарища Калинина? - эхом доносится до Ильи.

Этот вопрос задает каверзная бабушка в чеховском пенсне и кожаной куртке. К ней наклоняется суровый председатель.

- Товарищ Калинин - отчим этого юноши, товарищ Лившиц.

Старушка, съежившись, нервно пьет воду. Илья прислушивается, пытаясь сквозь эхо понять, о чем идет речь. Старушка громко чихает.

Председатель, наклонившись через стол, спрашивает, готов ли Илья до последней капли своей пролетарской крови защитить свою социалистическую Родину от внешних и внутренних врагов. Илья отвечает, что всегда готов!

Товарищ Лившиц снова чихает - слезы брызжут у нее из глаз. Старческие пальцы начинают скрючиваться, на губах выступает пена. Беспорядочно хватая предметы на столе, она привстает со стула и падает замертво, стаскивая за собой скатерть.

Наплывом проходят годы учебы в школе НКВД. Илья преодолевает полосу препятствий. Перед ним последний рубеж. Высокая, объятая пламенем стена. На крупном плане Илья задирает голову и видит...

Картина двадцать третья

ВЕРОЛОМНАЯ

Высотный дом. Илья входит в подъезд. Просторная квартира т. Калинина. Вернувшись домой, Илья видит, как мать рассматривает какие-то фотографии. Мария в замешательстве. Сильно волнуясь, она рассказывает Илье про его настоящего отца. Показывает горловой механизм Добролюбова, драгоценную шкатулку с ключом и фотографии, на которых снят его отец в обществе императора Николая II (император сидит у кровати Добролюбова).

Трогательный рассказ матери вызывает в душе сына целую бурю противоречивых чувств. Голубая кровь дворянина вступает в схватку с моральным кодексом комсомольца.

Илья обнимает рыдающую мать, а из репродуктора, на который наезжает камера, раздаются слова товарища Молотова о том, что Германия вероломно, нарушив мирный договор, напала на Советский Союз.

Из глубины экрана под стук паровозных колес приближается титр 1942 года.

Картина двадцать четвертая

ВЕРОЛОМНАЯ

Албания. Вокзал в Тиране.

Илья в кожаной шинели офицера СС (под именем Пауля Рихтера) выходит из поезда.

ТИТР: Тирана. 12 ноября 1942 года.

На соседнем перроне мы видим Клару, которая тут же исчезает в железнодорожных парах.

Такси подвозит Пауля к богатому особняку. К нему навстречу с распростертыми объятиями бросается экстравагантная женщина в летах.

- Пауль, наконец-то ты навестил меня, - говорит она, обнимая Илью. - Ты узнаешь свою тетю Гертруду? И ее объятия весьма неоднозначны. Илья слегка шокирован.

- Вы прекрасно выглядите,- говорит он, отстраняя "тетю" (резидента советской разведки в Албании).

Спальня "тети".

Конспиративно закрыв дверь и усадив Пауля рядом с собой на кровать, Гертруда скороговоркой вводит его в курс дела. Среди прочего она сообщает о вечернем приеме, на котором будет немецкий посланник фон Штюбе - племянник Кальтенбрунера.

Пауль должен во что бы то ни стало войти к нему в доверие. Говоря это, Гертруда поглаживает Пауля по ноге. Пауль, в свою очередь, передает ей письмо от мужа из Москвы.

Гертруда плачет над письмом.

Пауль со словами: "Не забудьте уничтожить", выходит.

- Фрак найдете в своей комнате, - вдогонку кричит "тетя", переходя на "Вы".

Вечерний прием в доме "тети" подходит к концу. Пауль выходит в оранжерею, где застает фон Штюбе, нюхающего кокаин. "Лицо фон Штюбе выглядит необычно. Правая сторона полностью изуродована, видимо, последствия ожога. На глазу черная повязка и, если смотреть в профиль, - Штюбе имеет два различных облика." Посланник в замешательстве. Пауль, выдержав паузу, протягивает ему изящную коробочку и предлагает попробовать свой.

Оба смеются, понюхивая порошок. Между ними происходит психоделическая беседа.

Фон Штюбе: - Религия бедуинов учит среди всего прочего и тому, что душа павшего за своего владыку вселяется в новую телесную оболочку - более удобную, более красивую, более прочную, чем предыдущая. Из-за этого представления они с большей готовностью подвергают свою жизнь опасности.

Пауль (как бы продолжая): - И стремится воин навстречу мечу и с готовностью приемлет смерть, не щадя возвращаемой жизни.

Фон Штюбе (по латыни): - Ad nos vix tenuis famae perlabitur aura. Слабый отзвук их славы едва донесся до нашего слуха. Вергилий.

Пауль: - Наградой за доброе дело служит совершение его. Сенека.

Фон Штюбе: - Созерцание следует весьма отличать от смотрения. Гете. - И далее, уводя Пауля в гостиную: - Интересно, как же все-таки люди научились записывать музыку знаками?

Пауль: - Рано или поздно неизвестное станет известным. А вот непознаваемое никогда не перейдет в разряд известного, но тем не менее оно всегда где-то рядом, оно захватывает и восхищает своим великолепием и в то же время грандиозность и безграничность его приводят нас в смертельный ужас.

Фон Штюбе: - Но согласитесь, Пауль, оно обладает свойством давать нам надежду и ощущение счастья.

В гостиной фон Штюбе садится за рояль и затягивает старинную немецкую песню. Пауль подпевает, оставшиеся гости аплодируют. Все навеселе.

Облокотившись на рояль, "тетя" гладит пальцем край бокала - бокал медитавно звучит. "Тетя" предается воспоминаниям о своей молодости и об отношениях с Кальтенбрунером.

Камера наезжает на стоящую тут же на рояле фотографию.

На фотографии она сама, молодой фон Штюбе, Кальтенбрунер, Геринг в охотничьем костюме и пара мраморных догов.

Фото становится цветным, оживает и мы видим, как по лужайке идет Кальтенбрунер в компании двух догов. Он приветствует фон Штюбе и Пауля. Все в офицерской форме. Мы понимаем, что они уже в Германии.

Фон Штюбе представляет Пауля дяде.

В саду слышится женский смех - это Гитлер гоняется за Евой Браун.

Ева в национальном костюме, Гитлер - в форме. Молодые люди, стукнув каблуками, приветствуют фюрера. В этот момент подкатывает роскошный открытый лимузин, из которого, пыхтя и отдуваясь, выходит Геринг со сворой гончих. Сразу же после приветствий он заводит речь о ночной охоте на кабанов.

Картина двадцать пятая

ИЗВРАЩЕННО-ФИЛОСОФСКАЯ

Горячий грог перед охотой. Стены гостиной в охотничьих трофеях. Присутствуют: Гитлер, Ева Браун, Кальтенбрунер с дочерью Бригиттой, Пауль.

Геринг играет в шахматы с фон Штюбе. За ними на стене большая старинная гравюра, изображающая панораму Нюрнберга XVII века. Перед ней покачивается на цепях обнаженный меч.

- Вчера я беседовал с Геббельсом о глубоком влиянии Ницше на немецкий дух, - медленно говорит Геринг. - Ведь поколения различаются теперь в зависимости от того, напичкали их Ницше или нет.

Гитлер: - Да, он как крысиный яд в кишках наших врагов.

Далее все начинают говорить цитатами:

- Ампутация личности способствует ее саморазгибанию.

- Без кровопролитий любая нация дряхлеет.

- Нет способа говорить о неизвестном, можно быть только свидетелем его.

- Сумасшедшие всегда говорят о самом главном.

- Нужно делать все до конца или вообще ничего не делать.

- Осуществление желаемого порядка отождествляется с восхвалением порядка существующего.

- Формула нашего счастья: Да, Нет, Прямая линия, Цель,- говорит фон Штюбе, передвигая ферзя через все поле.

- А это откуда? - спрашивает Геринг.

- Из Ницше - опыты критики христианства,- отвечает фон Штюбе.

- Я про ферзя, молодой человек. Все смеются.

- Пусть гибнут слабые и уродливые - первая заповедь нашего человеколюбия...- Пытается вступить в разговор Пауль, до этого занятый ухаживанием за дочерью Кальтенбрунера Бригиттой (девушкой "слегка не в себе").

Его перебивает Кальтенбрунер: - Вчера в лабораторном питомнике я видел ритуал выбора крысиного короля. Вспомните Гофмана. Это новое оружие. Зараженные холерой крысы будут использованы в Северном Китае. Кстати, в этом проекте принимают участие японцы.

Картина двадцать шестая

ОХОТНИЧЬЯ

Вспышки выстрелов в ночи. В свете прожекторов мечутся ослепленные кабаны (специально доставленные в деревянных клетках).

Гитлер помогает Еве Браун прицелиться. Та стреляет, слегка задев кабана. Огромный разъяренный вепрь несется на них во весь дух. Ружье дает осечку.

Столкновение кажется неизбежным, однако Пауль в последний момент метким выстрелом сбивает вепря с ног.

Гитлер уводит плачущую Еву в дом. Охота расстроилась. Все удручены.

Бригитта со словами: - Вы спасли нашего фюрера, - бросается Паулю на шею. Ее глаза сияют преданностью.

Картина двадцать седьмая

МЕНДЕЛЬСОНОВСКАЯ

Бригитта в свадебном платье обнимает счастливого Пауля.

Пауль, с железным крестом над галстуком и изящной шпагой на поясе, выглядит неотразимо.

Гости аплодируют, переговариваясь между собой.

- Говорят, сам фюрер будет шурином на свадьбе.

Гаснет свет. Из соседней комнаты появляется огромный трехъярусный торт, освещенный множеством свечей.

Первый ярус представляет из себя трех слонов, держащих плоский блин земли с картой Европы.

Второй ярус выполнен в виде лежащей объемной свастики.

И наконец, венчает это полутораметровое сооружение выполненный из крема макет Красной площади с крестами на башнях.

Надо всем этим мы видим зловещее улыбающееся лицо Гитлера.

Картина двадцать восьмая

ХРОНИКАЛЬНО-АНИМАЦИОННАЯ

Пауль с фон Штюбе слушают выступление Гитлера на собрании высших офицеров Рейха.

Гитлер: - Некоторые ученые, в основном евреи, выдвигают гипотезу, что мутанты несут запас измененных генов, которые, якобы, позволят выжить в условиях планетарной катастрофы. (Черно-белое изображение переходит в анимацию и дальнейший текст иллюстрируется мультипликационными образами.)

...Мы же стремимся получить сверхчеловека, способного выделить для борьбы с врагами колоссальную энергию.

Германия - это женщина с единой душой - вот основа будущего мифологического сознания. Очистить германскую кровь. Отстоять германскую почву - вот наше заклинание! Мы имеем проект Лебезборна "Семена жизни", который позволит улучшить породу при помощи передачи элитной крови и спермы! Улучшив внешние характеристики арийца, мы возродим дух и энергию нации.

С тех пор, как Шлиман открыл Трою, уже никто не сомневается в правдивости древних сказаний.

Возродим культуру арийских предков - древнюю религию, способную поднять бюргера, рабочего, крестьянина и интеллигента на невиданную борьбу.

Картина двадцать девятая

КЛИНИЧЕСКАЯ

Бригитту, терзаемую предродовыми схватками, везут на носилках в операционную.

Пауль в форме офицера СС бежит рядом, держа ее за руку.

Бригитта: - Девочка, это должна быть девочка. Сейчас Германии нужны девочки.

Бригитта бледна, глаза слезятся, на лице гримаса. Ноги, торчащие из-под белого покрывала, сводит судорогой.

Пауль (пытаясь овладеть собой): - Да, Германии нужны девочки. Нужны девочки Германии. Девочки нужны Германии. Нужны Германии девочки. Германии девочки нужны.

Перед его носом закрывается дверь операционной. Пауль смотрит на часы (он опаздывает на секретное заседание).

Пауль в машине нюхает кокаин.

Картина тридцатая

НАРКОТИЧЕСКАЯ

Далее глазами Пауля.

Изображение ярко-синее, слегка искаженное. Бункер.

Пауль бежит по коридору мимо застывших часовых. Его внимание привлекает висящая на стене картина - "Жертвоприношение агнца" работы Ван Эйка. Следуют цветные крупные фрагменты полотна. Изображение разворачивается и мы видим Пауля как бы изнутри картины. С трудом оторвавшись от видения, Пауль следует дальше по коридору.

Изображение продолжает трансформироваться. Серией наплывов проходят кадры искаженной кинохроники Второй Мировой войны.

Преодолев наконец коридор, Пауль попадает на тайное совещание лидеров Рейха.

Присутствуют: Гитлер, Геринг, Кальтенбрунер, Гиммлер, фон Штюбе. Кроме того несколько человек в белых халатах и двое неизвестных господ профессорского вида. Обстановка насыщена элементами сюрреализма. В помещении работает кинопроектор. Перед экраном стоит человек, по виду напоминающий Чарльза Дарвина. Его объяснения сопровождаются кинокадрами.

На экране быстро меняющиеся фрагменты гравюр Густава Доре, загадочные ландшафты с пирамидами

Майя, древние наскальные росписи, тибетские ритуальные священнодействия и пр.

Дарвин: - Воспринимаемый нами мир - неразрешимая загадка. Мы не являемся тем, чем заставляет нас считать себя наш здравый смысл. Одного взгляда на вечность достаточно для разрушения того чувства внутренней благоустроенности, которое дает нам мораль. Ничем не занимаясь, мы просто переходим из одного дня в другой. Мы ждем. Мы знаем, что мы ждем, и мы знаем, чего мы ждем. Свобода - вот то, чего мы ждем! Эта область настолько ошеломляюще обширна, что описать ее вряд ли смог бы даже самый великий из прозревших.

Иногда мы переходим некий критический порог и мир исчезает, перестает быть тем, чем он является на человеческом уровне.

Силы человека безграничны. Смерть существует лишь потому, что мы намерены умереть с момента нашего рождения, но намерение смерти можно остановить, изменив восприятие жизни.

Целью является достижение полного "осознания" для того, чтобы овладеть всеми возможностями, доступными человеку. Именно это состояние предполагает совершенно иной способ ухода из жизни. Это не смерть в ее обычном понимании, это переход в другое качество. Здесь я имею в виду дальнейшее продвижение по лестнице эволюции.

Геринг: - Так поделитесь же с нами вашим знанием.

Дарвин: - К сожалению, это знание не может быть выражено в словах, но одновременно оно доступно для всех. Его можно ощутить, использовать, но не выразить. В него можно войти путем изменения уровня сознания, - поэтому повышенное "осознание" является входом. Но даже вход невозможно объяснить. Его можно только использовать.

Смерть является единственным стоящим противником, который у нас есть. Смерть - это вызов. Мы все рождены, чтобы принять этот вызов. Просто одни знают об этом, другие - нет.

Гиммлер: - Лично я считаю, что жизнь, а не смерть является вызовом.

Дарвин: - Жизнь - это процесс, посредством которого смерть бросает нам вызов...

Смерть является действующей силой. Жизнь - это арена действия. И всякий раз на этой арене только двое противников - сам человек и его смерть.

Пауль: - Я считал, что это мы являемся теми, кто бросает вызов.

Дарвин: - Вовсе нет. Смерть задает темп для наших поступков и чувств и неумолимо подталкивает нас до тех пор, пока не выиграет смерть. Если это происходит, смерть признает поражение, позволяя человеку стать свободным и навсегда избежать нового вызова.

Геринг: - Как достичь этого практически? Где лежит ответ? В области науки или магии?

Дарвин: - Все, что вы должны сделать - это изгнать из вашего ума сомнения. Как только сомнения изгнаны, - все, что угодно, становится возможным.

(Один офицер другому): - По-моему, это бред какой-то.

- Помните, мой друг, вы видите человека, которому более ста лет, а выглядит он вполне прилично. Не говоря уже о силе убеждения.

- Вы уверены, что это тот самый Дарвин, который классифицировал виды?

- Ведомство Гиммлера вело это дело. Они отследили каждый год его жизни. Непрерывность его жизни доказана неопровержимо. Кстати, недавно он женился.

- На немке?

- Фолькс дойч, к сожалению.

Дарвин: - Чувство времени - это способность точно вычислить момент, в который все, что до этого сдерживалось, должно быть отпущено.

Контроль, дисциплина и выдержка подобны плотине, за которой все накапливается. Чувство времени - шлюз в этой плотине.

(Один ученый другому с восторгом): - Он непревзойденный мыслитель, отправившийся в путь к неизвестному. Я работаю в его лаборатории уже 2 месяца. Он может "увидеть" устрашающие миры и в следующее мгновение - как ни в чем не бывало шутить и смеяться с друзьями и незнакомыми людьми.

Дарвин: - К сожалению, мы воспринимаем тот мир, который нам известен.

Первая из истин заключается в том, что в мире нет отдельных объектов, которые существуют сами по себе, хотя мы, сообразно своему опыту, воспринимаем его как мир предметов и явлений. На самом же деле ничего отдельного не существует, есть лишь отдельная вселенная, образованная эманациями Бога.

Все это сопровождается комментариями, изобилующими научными терминами. Далее речь идет о каком-то препарате, позволяющем свободно перемещаться

по лестнице эволюции и по некоторым зонам Африки и Центральной Америки, обладающими таинственной энергией. Текст сопровождается множеством схем, географических карт и хроникальных кадров.

В этой галлюциногенной обстановке Паулю протягивают телефонную трубку. Это звонок из клиники. Голос сообщает о смерти Бригитты и рождении сына.

- Мы входим через врата рождения и выходим через врата смерти, продолжает Дарвин (действие переносится в клинику).

Клиника.

Врач, откинув простыню, показывает Паулю тело Бригитты, почему-то посвящая его при этом в подробности операции. Потом Пауля отводят в комнату для новорожденных.

Картина тридцать первая

СУДЬБОНОСНАЯ

Потрясенный Пауль возвращается домой, где застает связного из Москвы.

Тот в грубой форме требует информации и сетует на долгое молчание Пауля. В пароксизме отчаяния Пауль молча убивает связного висевшим до этого на стене альпенштоком. В этот момент раздается стук в дверь.

Пауль накрывает труп медвежьей шкурой и, с трудом взяв себя в руки, открывает дверь.

На пороге оказывается сосед - гадкий старикашка Шульц, пришедший по обыкновению сыграть партию в шахматы, поговорить о вожде и заодно сунуть нос в чужие дела.

Чтобы выпроводить суетливого Шульца, Паулю приходится сослаться на обострение геморроя.

Закрыв дверь и оборвав телефоны, он начинает собирать чемодан. Камера наезжает на блестящие глаза медведя. Через наплыв блики переходят в горящие фары.

В сумерках к дому подъезжает автомобиль с двумя мотоциклистами. Пауль видит из окна приближающегося по дорожке фон Штюбе. Выйдя к нему на порог, он пытается объяснить свое состояние. Но Штюбе его не слушает, он отстраняет Пауля и входит в дом, где, активно жестикулируя, обрушивается на Пауля с руганью по поводу его поведения на совещании.

В ходе своего монолога фон Штюбе спотыкается о труп связного.

Видя безвыходность положения, Пауль стреляет сквозь крышку чемодана. Фон Штюбе, разбив стеклянную дверь, падает в другую комнату.

Закрыв чемодан, Пауль выбегает на улицу, где, ловко расправившись с охраной, завладевает автомобилем.

Онемевший Шульц, который в это время поливал на своем балконе цветы, звонит в гестапо. Запинаясь, он пытается объяснить увиденное и почему-то говорит о польском десанте, напавшем на дом Рихтеров.

Картина тридцать вторая

ВЗРЫВООПАСНАЯ

Клиника.

Пауль быстро идет вдоль детских кроваток в родильном отделении. Стук шагов эхом отдается в сводах.

За ним, протестуя, бегает молоденькая однорукая медсестра со свастикой на пустом рукаве белого халата. Обнаружив наконец сына, Пауль поднимает его на вытянутых руках. Тот в свою очередь писает ему прямо на рыцарский крест.

Медсестра продолжает причитать.

В результате все трое оказываются на ночной улице.

Воздух разрезает свист падающего снаряда - это началась первая бомбежка Берлина. С ребенком на руках Пауль бежит к машине.

В родильный дом попадает чудовищной силы снаряд.

Сквозь вылетевшие окна вырываются клубы дыма и огня.

Пауль поднимает отброшенную взрывной волной медсестру и, вручив ей ребенка, запихивает в машину.

Автомобиль, вырвавшись за пределы обстреливаемого города, несется к швейцарской границе.

Картина тридцать третья

ПРИГРАНИЧНАЯ

Швейцарские Альпы. Рассвет.

На затянутой утренним туманом горной дороге стоит автомобиль с пустым бензобаком.

Пауль разводит костер. Голодный ребенок плачет на руках перепуганной медсестры.

Из тумана к ним приближается автомобиль с Кларой и ее дочерьми, руки которых по-прежнему скованы колодками.

Клара знаком приглашает всех в машину.

Германо-швейцарская граница.

Яркий солнечный день, неистово поют беззаботные птицы, стрекочут кузнечики, жужжат трудяги-пчелы.

Автомобиль с героями подъезжает к пропускному пункту.

К удивлению Пауля, зажавшего рот медсестре, охрана никак не реагирует на их появление.

Далее происходит невероятное.

Автомобиль проезжает сквозь шлагбаум, словно тот соткан из воздуха. Медсестра, вывернувшись, молит о помощи, но пограничники, не реагируя, продолжают говорить о своем. Клара улыбается.

Картина тридцать четвертая

МЕЖПЛАНЕТНАЯ

На закате путники подъезжают к заброшенному особняку. Мы узнаем особняк магистра Роберта (в котором проходило празднование нового века).

Клара открывает дверцу машины и взглядом дает понять Паулю, что тот должен войти в дом.

Пауль в сомнамбулическом состоянии поднимается по лестнице.

Атмосфера внутри дома говорит о давнем запустении. Ощущение такое, что люди отсюда не уехали, а просто пропали. Мебель не закрыта чехлами, не. бюро лежат бумаги и книги, на столах посуда с истлевшими остатками пищи. Все покрыто толстым слоем пыли.

На полу перед Паулем стоит детская деревянная лошадка на колесиках. Пауль толкает лошадку, та со скрипом катится, оставляя за собой глубокий лунный след в пыли.

С удивлением Пауль отмечает нарушение законов инерции, так как лошадка вместо того, чтобы остановиться, проезжает через весь зал и заворачивает за угол.

Озадаченный Пауль следует за ней.

Оказавшееся единорогом деревянное существо упирается в стену, нажимая рогом еле заметную кнопку. Потайной механизм приходит в движение. Участок пола, потрескивая, уходит вниз, увлекая с собой Пауля.

Опустившись словно на лифте, Пауль оказывается в известной нам малахитовой комнате. Проем, сквозь который он вошел, тут же задвигается. Пауль проводит пальцем по столу, отмечая присутствие пыли.

Атмосфера таинственности усугубляется боем часов: ударив трижды, они замолкают.

Внимание Пауля привлекают каменные кресла. Их размеры говорят о том, что в них сидели исполины. Присевший на одно из них Пауль выглядит, как ребенок на троне. Неожиданно тишину разрушает каменный скрежет.

Вздрогнув, Пауль видит, как стена перед ним отъезжает в сторону, открывая за собой фантастической красоты сумеречный пейзаж. Пораженный, он подбегает к краю пола и видит затянутую туманом дорогу, уходящую за горизонт. В усыпанном крупными звездами небе светится голубая планета.

По очертаниям континентов Пауль, охваченный священным ужасом, понимает, что это Земля. В этот момент из-за его спины доносится ржание и с ним рядом встает огромный белый единорог.

Неведомо откуда доносится таинственный голос:

Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит.

Слышится стрекот цикад. В ночном воздухе летают светлячки.

В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом... Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чем?

Пауль, оседлав единорога, взмывает ввысь. Мы видим их силуэты на фоне сияющей голубой планеты.

Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть; Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть!

Земной шар быстро приближается. Герои входят в верхние слои атмосферы. В полете камера наезжает на покрытое потом лицо Пауля. Непонятно откуда взявшаяся рука тампоном

промакивает ему лоб. Отъезд. Мы оказываемся в операционной. Врач делает Паулю пластическую операцию. После серии наплывов он приобретает совершенно другой облик.

Но не тем холодным сном могилы... Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь,

Мы видим усталое лицо уже немолодого человека - камера отъезжает постаревший Пауль сидит под раскидистым зеленым дубом, держа в руках маленькую фотографию.

Чтоб, всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной чтоб, вечно зеленея, Темный дуб склонялся и шумел.

В ночном небе несутся грозовые облака. Мощный раскат грома взрывает тишину. Из огромной желтобрюхой тучи вырывается сверкающая ветвистая молния. Основной заряд попадает в дуб. Тонкое сверкающее ответвление врезается в Пауля. Дуб вспыхивает. Пауль падает замертво на пышущую паром землю.

С неба летят крупные капли дождя. Начинается ливень.

ТИТР: Швейцария. 12 апреля 1961 года.

Картина тридцать пятая

МАГИЧЕСКАЯ

Рассвет. В том же кадре мы видим обугленный дуб и лежащего под ним Пауля. За плечи его трясет молодой человек: - Отец, отец!

Пауль приходит в себя.

- Сынок, в меня попала молния, по-моему.

- Мы с мамой так волновались, тебя не было всю ночь,- говорит Александр, повзрослевший сын Пауля.- Бог мой... На тебе лица нет, - в голосе молодого человека сквозит немецкий акцент.

Глаза Пауля загораются. Волна чувств проходит по его лицу. Потрескавшиеся губы расплываются в улыбке, которая постепенно переходит в апокалиптическую гримасу. За веками набухают крупные шарики слез.

- На мне действительно нет лица... моего... моего собственного. Вот... вот твой отец, - Пауль протягивает искореженный от влаги снимок с фигурным обрезом.

На фотографии Пауль в обнимку с Бригиттой и фон Штюбе. Молодые люди в форме СС.

- Который из них? - выдавливает из себя поначалу онемевший Александр.

- Это я... Понимаешь... Я,- Пауль тычет пальцем сначала в лицо на фотографии, потом в свое собственное. - То, что ты видишь - результат пластической операции.

- Ты... Ты был нацистом? - на грани срыва спрашивает Александр.

Отец ему что-то объясняет, но мы его уже не слышим.

Изображение начинает подрагивать, наплывом проходят сцены из жизни Пауля (Ильи).

1. Шестилетний Илья писает на стену в городском закоулке. Спиной его прикрывает смотрящая по сторонам Мария.

2. Капри. На лужайке перед домом Горький с Ильей хоронят котенка. На заднем плане ньюфаундленд справляет нужду.

3. Плачущая Мария передает Илье драгоценную шкатулку с ключом в виде свиной головы.

4. Илья идет в шеренге товарищей на демонстрации. Все в белых спортивных костюмах несут вертикальные красные знамена.

5. Илья (Пауль) пробирается в секретную лабораторию Дарвина.

6. Маленький Александр на руках у Пауля в родильном доме...

Рассказ прерывается громким треском. Это огромная обугленная ветка, отломившись от дуба, летит вниз.

В последний момент Александр отталкивает отца, и они вместе катятся с пригорка.

Отдышавшись, Александр пытается продолжить разговор.

- Кто эти двое на фотографии? Ты сын писателя Горького? Что это за талисман?

- Об этом в другой раз, сынок, я очень устал, - говорит Пауль, обнимая сына.

- Не старайся сделать понятной окружающую нас беспредельность. Мы не знаем ни предназначения этих вещей, ни источника их происхождения, - Пауль чихает. - Сейчас я имею такой уровень внутреннего покоя, который приобретают, лишь пройдя через невообразимые битвы с самим собой.

Александр: - Откуда все это в тебе, отец?

Пауль: - Знание и язык могут существовать независимо друг от друга. Окружающее нас здесь, - говорит Пауль, показывая на окрестности, - сама вечность. И заниматься тем, чтобы уменьшить ее до уровня управляемой чепухи не только глупо, но и крайне вредно... Не трать свою силу на мелочи, когда имеешь дело с бесконечностью... Ты ни в чем не нуждаешься... У тебя есть все необходимое для этого экстравагантного путешествия, которым является твоя жизнь.

Александр: - Мне трудно все это понять.

Пауль: - Природа разума заставляет его стремиться понять даже то, что не имеет ничего общего с пониманием. Будь готов к худшему, но не торопись и не паникуй. У ТЕБЯ СОВСЕМ НЕТ ВРЕМЕНИ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ТЫ ОКРУЖЕН ВЕЧНОСТЬЮ. Эта дорога, как и любая другая, ведет в вечность. Нужно только идти по ней в абсолютном безмолвии... И сила, подобная ветру, унесет прочь этот мир, говорит Пауль, обнимая сына.

Из-за спины отца Александр видит женщину, идущую по полю в их направлении. Она лавирует между пасущихся пятнистых коров.

- Мама, - произносит тихо Александр.

Обнявшись, они оба идут к ней навстречу. Своей единственной рукой она присоединяется к их объятиям (мы узнаем в ней медсестру из госпиталя).

- Майн гот!..- Начала она было по-немецки, но осеклась, увидев жесткий взгляд мужа.

- Господи, где ты пропадал...- Произносит она без вопросительной интонации и, обернувшись к сыну: - Пришел ответ из Нью-Йорка, ты принят в университет.

- Да?!! - Александр от радости начинает кружиться, глядя в небо.

- Но это еще не все. Звонили из редакции - они собираются выпустить сборник всех папиных сказок, правда, они удивлены псевдонимом Добролюбов.

- Ничего, привыкнут, - смеется Пауль.

- Но и это еще не все. Ваши русские запустили в космос человека, какого-то Гагарина... Вы понимаете, человек в космосе!

Лицо Пауля приобретает странное выражение, видно, что в нем бьется сильная эмоция.

Пауль: - Господи, что они наделали! Что они наделали... Они... Они сами не понимают, что они наделали.

Медленно лицо Пауля переходит в лицо Юрия Гагарина. "Поехали",- говорит тот. Проходят кадры хроники взлета ракеты. Их сопровождает дикторский текст - "10 секунд, полет нормальный..."

Следуют различные планы земли из космоса. Серией наплывов мы приближаемся к ее поверхности. В результате мы видим панораму Нью-Йорка с птичьего полета (хроника).

Отъезд. Мы оказываемся в университетской аудитории.

ТИТР: Нью-Йорк. Ноябрь, 1963 год.

Картина тридцать шестая

КОНСПИРОЛОГИЧЕСКАЯ

Перед экраном элегантный, вызывающий доверие профессор.

- Так уж случилось, что мы оказались на планете, заселенной разумными существами, - говорит он с лукавой усмешкой, протирая пенсне и обводя взглядом студентов.

К Александру, сидящему на первом ряду, наклоняется невероятно толстый сосед.

- Я знаю, кто убил Кеннеди, - говорит он, нервно дрожа и потея.

Профессор, подойдя к ним, упирается указкой в толстое тело "соседа".

- Некоторые к этой категории не относятся, - продолжает он свою мысль.

- Итак, - говорит он, возвращаясь к экрану, - сегодня мы поговорим о некоторых проявлениях исторического безумия. Со временем стало очевидно, что догма о случайности всех исторических процессов так же абсурдна, как метод реализма в искусстве.

- Как известно, ИСТОРИЯ имеет смысл и цель, которые выражаются в тех или иных идеологических формах. Они, в свою очередь, имеют среди людей своих носителей.

Эти смысл и цель Истории сопряжены с Божественным планом, и поэтому понимание их принадлежит к сфере метафизики, духа, традиции и в определенных случаях - сфере религии. Причем, именно эта область является наиболее закрытой, наиболее таинственной, так как в ней осуществляется реальный контакт Божественного и земного.

Лицо профессора приобретает сомнамбулические черты. Воздев глаза и руки к небу, он медленно произносит:

- "Две чаши весов - на каждой половина вселенной - колеблются где-то в царстве первопричины - на какую я брошу пылинку, та и опустится". Так писал Майринк - правда, по совершенно иному поводу, - продолжает профессор, возвращаясь в нормальное состояние. Далее он кратко излагает основные конспирологические модели "мировых заговоров", начиная с масонского и кончая заговором "тайного мирового правительства".

В конце объяснения раздается телефонный звонок. Профессор берет трубку, молча слушает и, обернувшись к аудитории, патетически объявляет:

"ЧАС ПРОБИЛ, И ПСЫ ДИКИХ ЕГЕРЕЙ ВНОВЬ ПЕРЕГРЫЗУТ СВОИ ЦЕПИ".

Сидящий на первом ряду Александр с удивлением ловит на себе пронзительный взгляд профессора. (Мы же узнаем в нем Посланника из малахитовой комнаты.)

- Как не жаль вам этого, - продолжает профессор, обращаясь уже ко всем, - но дальнейшее объяснение придется прервать. Сейчас в этом зале состоится встреча с этим русским космонавтом - Юрием Гагариным.

По залу проходит волна возбуждения.

- Как обычно, люди действуют, не считаясь с тайной бытия, - добавляет профессор, как бы про себя.

Картина тридцать седьмая

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКАЯ

После официальной встречи с советским космонавтом Александр получает приглашение на вечерний прием.

Ситуация на приеме складывается так, что он оказывается среди главных его участников. Знание русского языка, пытливый ум, любовь к русской природе и природное обаяние позволяют Александру быстро сойтись с Гагариным, и к концу вечера они становятся почти друзьями.

Ночью в аэропорту Александр среди прочих прощается с космонавтом у трапа самолета, вылетающего в Москву.

В сутолоке официальных лиц, цветов, фотовспышек и зонтиков Александра оттесняют двое работников ГРУ (Главное Разведывательное Управление). Прикрыв его черным зонтом и приставив к спине пистолет, они незаметно для всех уводят его в самолет.

(Далее события начинают развиваться с калейдоскопической быстротой.)

Москва. Несколько правительственных машин в сопровождении эскорта мотоциклистов въезжают в Кремль. Одна из них (в которой Александр), отделившись от остальных, подъезжает к штаб-квартире ГРУ.

Пожилой полковник рассказывает Александру о тайной операции, участником которой он невольно оказался.

1. В Базеле умер отец Александра - Илья Добролюбов, он же Пауль Рихтер.

2. Как резидент советской разведки в Германии во времена Второй Мировой войны он вел поиски центральной лаборатории, где готовилось оружие возмездия.

3. Известно, что перед тем, как исчезнуть из поля зрения Москвы, ему удалось вплотную подойти к тайне Третьего Рейха.

4. ГРУ предполагает, что к нему в руки попали документы, проливающие свет на сакральную деятельность немецких ученых.

5. Кроме того была прослежена история самой семьи Добролюбовых, масонские корни которой стали вызывать крайний интерес разведывательного управления.

Любовь к истории, возможность соприкоснуться с ее тайнами, так тесно связанными с тайнами его семьи, и, наконец, безвыходность ситуации, берут верх во внутренней борьбе Александра. Он дает согласие на сотрудничество и его отправляют в Швейцарию за архивом отца.

Картина тридцать восьмая

СЕКСУАЛЬНО-НЕПОЛНОЦЕННАЯ

Кладбище в Базеле.

Александр стоит у еще свежей могилы отца.

Надпись на надгробии гласит: "Смерть - это единственный стоящий противник, который у нас есть". Илья Добролюбов (Пауль Рихтер). 1918-1963.

В отражении на полированном надгробии Александр видит подошедшую к нему Мадлен (его одноклассницу и первую любовь).

Александр: - Отец однажды сказал мне, что смерть задает темп для наших поступков и чувств и неумолимо подталкивает нас до тех пор, пока не выиграет поединок, или пока мы не совершим невозможное и не победим смерть... Спасибо тебе за то, что ты не забывала моих стариков.

Мадлен: - Я ждала тебя 2 года... Я помню твой прощальный поцелуй. Я храню твои письма под подушкой... Я... Я...

Слезы катятся из глаз Мадлен. Рыдания содрогают все тело. В порыве страсти она бросается на Александра. Вместе они падают на могильный холм и, охваченные любовным порывом, тут же пытаются сблизиться. Однако, переполненность чувств не позволяет этому свершится.

Александр сидит у постели больной матери, держа ее за руку, он расспрашивает об отце.

Мать передает ему саквояж, в котором отец хранил наиболее ценные предметы и документы. Здесь и драгоценная шкатулка с ключом в форме свиной головы, и старинные масонские письмена с магическими рисунками, секретные документы Третьего Рейха, и, наконец, личный шифрованный дневник Пауля Рихтера.

Изучая документы, Александр отбирает те из них, которые, по его мнению, можно передать в руки ГРУ.

Вечером Александр отправляется к Мадлен. В постели он снова терпит фиаско. Мадлен, как может, успокаивает возлюбленного, однако надлом в душе Александра уже произошел (Александр приходит к выводу, что он не состоятелен как мужчина).

Картина тридцать девятая

ОТКРЫВАЮЩАЯ ГЛАЗА

Москва. 1973 год.

Александр работает в Главном Разведывательном Управлении в отделе "Геополитических исследований". Параллельно он ведет собственное расследование масонской линии своей семьи. Работа в этой области заставляет его обратиться к глубинному изучению русской истории и особенно ее метафизическим аспектам. Кроме того Александр выясняет, что его отец, будучи резидентом советской разведки, был женат на дочери Кальтенбрунера, организовавшего одно из покушений на Гитлера. И он, Александр, результат этого брака.

ТИТР на черном экране: "Пороки, конечно, бродят повсюду и причиняют вред. Но бродят на свободе и добродетели, еще более одичалые и вредоносные".

Картина сороковая

ПОВОРОТНАЯ

Москва. 1991 год.

Александр работает в аппарате президента Горбачева.

19 августа. Кровавые события путча. Понимая истинную подоплеку происходящего, Александр остается сторонним наблюдателем. После провала штурма российского парламента он принимает решение оставить страну. Вызвав по вертушке вертолет, якобы для спасения президента, Александр отправляется в аэропорт, оттуда в Париж, из Парижа в Нью-Йорк и затем в Лондон.

Время от времени мы видим Плеханова, преследующего Александра, но вечно везде опаздывающего. (Его демонический образ приобретает черты комизма и становится, скорее, смешным, нежели страшным.)

Картина сорок первая

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

Великобритания. 1993 год.

Александр ведет исследовательскую деятельность. Работает в Национальной галерее, Британском музее, посещает научную библиотеку в Оксфорде.

ТИТР: Санкт-Петербург. Конец 90-х годов. Александр в номере гостиницы "Европа".

Стихают (как будто кто-то выключил звук) уличные шумы, в комнате повисает тревожная пауза. Почувствовав что-то неладное, Александр оглядывается вокруг и видит свое отражение в огромном зеркале.

Вдруг зеркальная гладь начинает подрагивать и навстречу Александру выходит Посланник. Он объясняет, что его жизненный цикл подошел к концу. Время остановилось. Законы здравого смысла прекратили свое действие. Настал момент реализации его миссии.

Посланник надевает на героя рыцарский шлем, происходит трансформация, после которой он предстает в образе своего деда Александра Добролюбова (адъютанта Николая II).

Напоминая о шкатулке со священным ключом, Посланник предлагает Александру спуститься вниз, где его ждет машина с Кларой. Сам же исчезает в зазеркалье. Спускаясь, Александр видит, что люди в гостинице и на улице замерли в неоконченных движениях и жестах. Осенние листья повисли в воздухе.

Далее следуют величественные панорамы Санкт-Петербурга. Автомобиль с героями, двигаясь по городу, объезжает застывшие машины и лавирует между стоящими людьми. Въехав на Троицкий мост, автомобиль набирает скорость и исчезает в пространстве. В этот момент город оживает как от нажатия невидимой кнопки.

Запыхавшийся Плеханов врывается в номер Александра и видит на его кровати большую розовую свинью.

Плеханов: - Опять... Опять я опоздал. Все, больше не могу. Остаюсь здесь. Мне здесь даже нравится. Буду пить "Портер" и водить экскурсии по Ленинским местам. Может даже женюсь... Или стану дирижером духового оркестра.

Взяв трубку телефона, он звонит портье.

- ...Я хочу заказать ужин в номер 88. И побольше пива, пожалуйста. Да, и пусть мне принесут путеводитель по городу и еще газету с объявлениями службы знакомств.

Картина сорок вторая

ОСВЕЩЕННАЯ УТРЕННИМ СОЛНЦЕМ

Швейцария. Машина с героями на полном ходу (из ниоткуда) появляется на дороге, ведущей к дому бывшего посольства России в Швейцарии.

Попав в малахитовую комнату, они видят ожидающего их Посланника. Тот открывает Александру тайну священного ключа и объясняет, что основной миссией Александра является посещение русского императора в момент подписания им отречения от престола.

Клара снимает колодки с детей. Их руки превращаются в крылья, и они предстают в виде ангелов, готовых сопровождать героя в его путешествии во времени. Александр разделяет ключ пополам, один оставляет себе, другой отдает Посланнику. Они вставляют каждый свой ключ в искусно замаскированные прорези и синхронно поворачивают.

По малахитовой стене бежит трещина. Описав прямоугольник, она замыкается, и к ногам героев падает кусок стены. Из образовавшегося проема брызжет яркий божественный свет, вместе с ним через проем в комнату влетает множество маленьких райских птичек.

Посланник кладет свою руку на плечо Александра и подталкивает его в направлении проема.

Пройдя сквозь свет, герой оказывается лицом к лицу с Николаем Чудотворцем и Пантелеймоном Целителем.

За спинами святых шуршат деревья райского сада, в голубом небе сияет радуга. На лужайке резвятся лев с ягненком. За кустами мелькают Адам и Ева.

Николай Чудотворец, пристально глядя в глаза Александра, осеняет его крестным знамением. Пантелеймон Целитель причащает героя из своей коробочки.

Затем образы святых постепенно застывают, превращаясь в писаные иконы.

Начинается стремительное движение вспять. Все сцены фильма с головокружительной быстротой несутся в обратном порядке. Встают и начинают уменьшаться поваленные деревья. Земля вспыхивает то белым сиянием снега, то осенним золотом, то зеленым пламенем травы. Солнце носится по небу словно метеор. То тают, то появляются звезды. Луна улыбается и исчезает.

Неожиданно все останавливается. Мы видим солдат, стоящих у полевой кухни, мелькающих всадников, пирамиды ружей, слышатся звуки гармони и паровозные гудки.

Александр понимает, что он смотрит на все это из вагона поезда. Обернувшись, он видит императора, сидящего за столом в глубоком раздумье.

Понимая, что император принимает его за своего адъютанта, Александр мягко и спокойно сообщает о своей миссии. В качестве доказательства он предлагает просмотреть принесенную с собой кинопленку.

Император, хорошо расположенный к Добролюбову, с недоумением соглашается.

Герои переходят в соседний вагон, где установлен кинопроектор.

ФИЛЬМ

Динамичный монтаж хроники от 1914 до 1996 года.

Закадровый голос в лаконичной и убедительной форме рассказывает о последствиях падения монархии в России и влиянии этого события на ход мировой истории.

После просмотра герои молча возвращаются в кабинет.

Как человек глубоко религиозный, Николай расценивает происходящее как вмешательство божественных сил - чудо, прихода которого он ждал и был готов к нему. Добролюбов, в свою очередь, доводит до сведения императора возможный порядок мер, способных развить успехи на фронтах и подавить волнения в Петрограде.

Ангелы, парящие под потолком, с неподдельным умилением взирают на склонившихся над картой героев.

Картина сорок третья

МОНАРХИЧЕСКАЯ

31 декабря 1996 года.

Царское село. Полдень. Зеркальный зал дворца.

Император Всероссийский Александр IV слушает доклад министра иностранных дел. (Государь в форме полковника авиации.) Министр сообщает о скором прибытии императора Китая, а также об очередной просьбе правительства США о принятии Америки в международное монархическое сообщество. Условия, поставленные Россией, на этот раз приняты безоговорочно.

Отправив министра, государь (Александр Алексеевич Романов) подходит к окну и, глядя в парк, видит приближающуюся ко дворцу процессию.

Золотой гусеницей она двигается между мраморных скульптур по направлению к почетному караулу. Площадь перед дворцом богато украшена гирляндами и национальными флагами двух Империй. Большой духовой оркестр играет гимн. Медленно падающий снег придает зрелищу характер видения.

От окна государь подходит к камину и переворачивает щипцами задымившееся полено.

Пользуясь паузой в событиях, он включает стоящий на камине телевизор (коробка телевизора выполнена в стиле классицизма).

Картина сорок четвертая

НОВОГОДНЯЯ

Санкт-Петербург. Вечер того же дня. Летний сад в праздничной иллюминации. Новогоднее гуляние.

Александр в форме русского офицера идет по аллее. Его взгляд выхватывает милые сердцу сцены человеческой радости: заботливая мать отогревает дыханием ручки у малыша. Веселые офицеры играют в снежки с румяными гимназистами.

Бравый городовой помогает подняться подскользнувшейся даме (удивительно похожей на Марию). Оркестр выдувает вальс. В веселом дирижере мы узнаем Плеханова. Неизвестно откуда взявшийся поросенок несется мимо мраморных статуй, застывших в стеклянных футлярах. Снег валит с такой силой, что все вокруг напоминает картины пуантелистов. Александр видит стоящую у дерева Снегурочку. Их взгляды встречаются. Часы Петропавловского собора бьют 12.

В воздухе взрываются огни фейерверка.

Пять дней из жизни барона Врангеля

I акт. Таинственный посетитель

II акт. Переход Суворова через Нахимова

III акт. Тайна Махно

IV акт. Узбекский гамбит

V акт. Золотой Член

I АКТ

Заснеженная Среднерусская возвышенность. Бескрайняя русская степь. Вдалеке, справа от лева, воют волки и овцы, невдалеке, слева от права, звучит одинокая песнь ямщика. По замерзшему Онежскому озеру, сквозь пургу, с трудом пробираются два путника. Один из них - низкорослый, даже слегка высокий, кряжистый, в тельняшке, отороченной мехом тунгусской куницы, несет остатки метеорита, только что упавшего в эпицентре приземления; второй из них до боли похож на первого. С первого взгляда может показаться, что это два брата, однако наличие третьего путника позволяет нам предположить, что их трое. В процессе беседы выясняется, что армия, еще вчера отступившая к болотам и потерявшая в битве за Москву почти половину обоза, стремительным рывком подошла к подножию Альп. Внезапно путники заметили какой-то мерцающий свет впереди. "Вода!"- закричал один из них и упал, изможденный. Второй на лету подхватил тело падающего друга, подстегнул тройку оленей и повозка, запряженная собаками, медленно погрузилась в зыбучие пески и покатилась по направлению к воде. "Ура..."- пересохшими губами, стуча зубами, с трудом приподнимая веки, прошептал первый. Скрюченными от холода пальцами он достал какую-то грязную, слегка вонючую, тряпку, которая оказалась древней картой региона. "Здесь",- шепотом прошептал, почти прошепелявил он. Второй путник достал из саквояжа складную японскую лопатку и начал медленно рыть, постепенно углубляясь вглубь скважины. Погоня приближалась. Путникам грозила смертельная опасность. "Нашел!"- сдавленным шепотом, с трудом продирая гланды, выхрипнул первый второму. Перед ними открылся вход в подземелье, откуда на путников пахнуло могильной сыростью. Отлив продолжался. Прилив должен был начаться через два часа. "Быстрее, быстрее!"- торопил первый, но у второго уже начала развиваться гангрена. "Уходи один..."- слегка слабея, прошептал, с трудом выдыхая остатки кислорода, второй, и как бы в подтверждение его слов где-то вдалеке от склепа завыла мутирующая лангуста. Крестоносцы приближались, ведя за собой орды тувинцев, постоянно имитирующих горловое пение. Путники кубарем скатились вниз по кварцевому стоку и бросились в покрытый инеем склеп, напоминающий картины Гогена. Железная решетка с кадмиевыми прожилками обдала их запахом чугуна и со скрипом захлопнулась. Они медленно бросились вперед, все время оглядываясь назад, туда, где прошло их детство. Вдруг первый остолбенел и слегка окаменел от ужаса перед непоправимым. Из зияющей впадины туннеля, справа от траншеи, со стены, на них смотрело ужасное лицо, лишенное первичных признаков эволюции. Оно было покрыто селедочным налетом и зеленоватым плесенеобразным лишаем. "Вот он - источник всех наших несчастий",- отвинчивая протез, с трудом промолвил первый, и, как бы в подтверждение его слов, вдали послышался шум обвала. Путники отступили к торфяным болотам. "Это сэр Вордсворт, герцог Нотингемский, основатель нашего рода, ебёна мать."- "Да, сэр,- с почтением проговорил второй, с трудом скрывая гасконский диалект.- Лошади поданы." И тройка наших друзей, приспустив поводья, не отрывая взгляда от вершины, куда лежал их путь, понеслись к подножию Альп по направлению к Тибету.

II АКТ

А в это время барон Врангель, не отрываясь, смотрел вниз, на горную дорогу, по которой без конца шли военные автомобили. Смутные контуры проходящих танков напомнили ему родное

Забайкалье. Он вбил еще один альпеншток в сланцевый ангедрид и полез выше. Чайки летали вокруг, что-то крича. Они напоминали ему родное Прикарпатье. Он вбил еще один альпеншток в кварцевый антрацит, оперся на слегка выдающийся из скалы Лабрадор, напоминающий кварцевый песчаник из сине-зеленой ленточной глины, и задумался. Подмога все еще не приходила, а горцы все приближались. Гортанные выкрики становились все громче, а запах пороха все сильнее. Уже издалека видны были кривые турецкие сабли, напоминающие ятаганы сирийской работы, поблескивающие в лучах заходящего за хребет солнца. Он вбил еще один альпеншток. Со скалы обвалилась верхняя часть отлога. Где-то невдалеке разорвался мерцающий снаряд. Слегка пульсируя, осколок чуть не задел лысеющую голову побежденного генерала. Внезапно он увидел человека в мягкой фетровой шляпе и твидовых ботинках. Человек слегка поблескивал в лучах заходящего солнца. "Вы англичанин?"- обратился к нему генерал. Он не спал уже 13 суток. Вместо ответа загадочный незнакомец молча упал со скалы и, с треском ломая кости, покатился в ущелье Грев. Заодно со скалы упало еще несколько человек, по виду напоминающих англичан. Погоня приближалась, но падение незнакомца вызвало небольшой горный обвал, который на время задержал армию султана. Сам султан восседал посреди шатра, окруженный невольницами, нунциями, астрологами, чревовещателями и огнепоклонниками. Мягкий дым стелился посреди шатра. "Опиум",- подумал Врангель. В углу полуобнаженные музыканты играли Шопена. Нунции яростно мастурбировали. В скрипаче Врангель узнал своего бывшего адъютанта, педераста Жору. "Пидер",- подумал Врангель, но было уже поздно. Его заметил один из негров-педерастов, коричневатый зад которого был слегка вздыблен и мерцал в проеме шатра. Глядя на негра, он вспомнил родное Приамурье, вбил еще один альпеншток и полез еще выше. Вся его юность прошла в Тифлисе. Там он сблизился со Сталиным. "Надо быть мягче",- любил говорить ему Сталин. И он стал мягче. Потом 15 лет каторги за связь с евреями, 10 лет тюрьмы за связь с монголами. После отсидки Гражданская война, ранение, ампутация ног, паралич, заикание. Врачи запретили служить в авиации. Но железный организм взял свое. Паралич прошел, ноги отросли, заикание прекратилось. Вот тогда-то он и сблизился с Махно. Махно любил сидеть вокруг самовара с друзьями, либо скакать в поле на гнедой кобыле. Вот и в этот раз он сидел в землянке, пил чай и тихонько напевал что-то арабское. В углу, у печи, там, где стояла резная березовая кровать, слегка шуршала его супруга, бывший красный комиссар Второй добровольческой армии Мария Гнедых. Внезапно у двери раздался какой-то шум. "Комиссары! побледнела Мария.- За тобой, Коля".- "Брось ты, Маня, это крысы".- "Да нет, комиссары!"- уверяла несчастная женщина. Махно подошел к столу, накренившемуся под тяжестью награбленного. На столе стояла фотография, с которой на него смотрели спокойные грустные глаза Троцкого. Троцкий еще вчера предупреждал Махно об аресте, но Махно знал, что Берия на это не пойдет. Он пойдет совершенно не на это. А сам Колька Махно помнил Берию босоногим загорелым мальчуганом, залезающим под юбки заводским девчонкам. Девчонки звонко хохотали и постоянно его пиздили. Мать Берии была известным хирургом и, как поговаривали старожилы, вырезала гангрену еще самому Распутину. А Колька Махно всегда с завистью смотрел на Лену Берия, косоглазую сестру Левы, которая медленно умирала от страшной болезни отсутствия влагалища. Лена была на два года старше его брата, Миши Ворошилова, который только что перешел в 5-й класс церковно-приходской гимназии. А Троцкий еще тогда, в гимназии, ненавидел их всех, считая мудаками и гнидами. Любил он только Тухачевского, уже тогда предчувствовавшего свой расстрел. Заодно был расстрелян некий Сычов-Телятин, якобы коммунист, на самом же деле ублюдок и козел. Это он считал, что узбеки уже настолько окрепли, что сами способны построить коммунизм в отдельно взятой стране. Врангель ударил молотком по альпеншток, но промахнулся, попал по пальцам, взвыл от боли, укусил пробегавшего рядом горного джейрана, выпустил трос из рук, набрал в легкие воздуха, плавно

взмахнул, сжал зубы, со стоном повернулся вправо, как ужаленный отпрянул, страшно вспотел, увидел краем глаза клочок голубого неба и с криком упал в зияющую пропасть, со дна которой доносились победные крики мутантов, каннибалов и карбоньеров. Все погрузилось во тьму.

III АКТ

Очнулся он в лагере альбиноса Суворова, в маленьком бразильском городке, неподалеку от столицы. Армия Антанты и Шестой флот уже продвинули фронт на 17 миль в сторону. Суворов срочно собрал военный совет. "От Курфюрста Саксонского нет никаких известий. Заебали меня эти шведы. Князь, что вы думаете по этому поводу?" Все повернулись в сторону князя, только что пришедшего в себя от удара. "Нельзя терять ни минуты",- худощавые пальцы князя сжались в один мощный кулак. Внезапно совет был прерван появлением адъютанта фельдмаршала. "Пиздец",- коротко произнес он и упал к ногам генерала Ивана Карамыслова, героя Крымской войны, чем-то похожего на Менделеева. В комнату ворвался морозный, но по-южному северный, январский бриз. "Что это значит?"- в ярости воскликнул князь. "Успокойтесь, фельдмаршал,- Менделеев медленно опустился на скамью.- Вся наша пехота погибла. Половина подорвалась на мине, а вторая утонула в болоте". Наступила мертвая тишина. Генералы не ели уже 7 суток. Суворов, не отрываясь, смотрел на Менделеева. Целый рой воспоминаний пронесся перед мысленным взором этого Гоголя военной науки. Вдруг он смертельно побледнел. "Что это?"- воскликнул он и дрожащей вытянутой рукой указал на сапог Менделеева. Все увидели огромное родимое пятно чуть выше сапога. "Родной, жив!"- Суворов обнял Нахимова. За окном раздался топот коней. Генералы бросились к окну и увидели подъезжающих на великолепном шотландском мерине Тараса Бульбу, Махно и Мерлина, только что прибывшего из Ирландии. Бульбу окружало 5 или 6 сыновей, один из которых был уже почти убит. Мерлин внес на руках раненого барона Врангеля, только что упавшего возле дома, и положил его на Ивана Сусанина, отдавшего жизнь за царя. Мерлин знал, что Сусанину известна тайна рождения Суворова, и поэтому молчал. Сусанин мягким кавалерийским шагом подошел к фельдмаршалу, который в ужасе начал сучить ножками, и раскрыл тайну его рождения, а заодно и тайну создания русской армии. Суворов был на волоске от гибели. Но отравленная ядом дикого тореро стрела, пущенная твердой и умелой рукой случайно оказавшегося в Патагонии Пржевальского, спасла жизнь Суворова, а заодно и его честь, а также честь всего генералитета. Суворов обнял своего спасителя Пржевальского, а также обнял его лошадь, в которой он узнал своего сына, без вести пропавшего 40 лет назад в недрах Аравийской пустыни при выполнении сверхсекретного задания по извлечению квадратного корня из super ego. Последовала трогательная сцена клятвы в вечной дружбе и любви. В процессе любви случайно оказывается замешана дочь вождя племени финно-угорской лингвистической группы, которая тоже выдает тайну рождения лошади Пржевальского, а заодно и страшную тайну рождения всех травоядных животных Нового Света и Тропической Африки. Лошадь на волоске от гибели. Но случайно найденный Рунный Посох открывает Суворову глаза на дочь вождя, а заодно и на других женщин. Следует сцена народного веселья, переходящая в чудовищную оргию, наполненную чувственными возбудителями, пикантными раздражителями и расширяющимися уплотнителями. Оргия сопровождается ритуальным праздником плодородия, возникают огромные ритуальные предметы, характерные для культа Матери-Земли и ее возлюбленного Диониса-Загрея. Девушки водят хороводы и с грустью поют о предстоящей утрате невинности.

IV АКТ

Сцена всеобщего безумия открывает IV акт. Безумный узбекский хан Машлак спит и видит сон. Ему снится, что он в Испании, что он испанский гранд Дон Хуан Карлос де Алмейда. Нежная розово-голубая дымка сопровождает сновидение. Кастилья. Болонья. 1620 год. Волны тихо плещутся, бьются о берег и что-то ласково шепчут. Сидя на берегу Карибского бассейна, Дон Хуан Карлос прощается со своей возлюбленной - креолкой Изабеллой Второй Австрийской. Вдали, за горизонтом, проплывают бригантины, эспаньолы и каравеллы. В розовой дымке видны Острова Зеленого Мыса и Берег Слоновой Кости. Неподалеку в каноэ сидят друзья и сподвижники Дона Хуана - его верные карбоньеры. Издалека доносится звук кастаньет. Дон Хуан знает, что на его след уже напала Святая инквизиция, и он должен бежать. Путь у него, как и у других испанских конквистадоров, один - Америка. Только что ему сообщили, что герцог Альба уже высадился в Гватемале, а его армия высадилась в Гваделупе. Ветер развевает полы мантильи Дона Карлоса, и виден орден Летучей мыши, подаренный ему самим Фердинандом Вторым Безумным, королем Сардинии, за подавление народного мятежа в Санто-Доминго. Гранды торопят Дона Карлоса ведь необходимо еще до рассвета переплыть Саргассово море. В последний раз он целует свою возлюбленную, поправляет мушкеты и шпагу, подаренную ему в знаменитой охоте на тюленя-людоеда, который 20 лет терроризировал индейцев навахо в окрестностях Ферреро. Они спешат к гондоле. По пути на них пытается напасть гигантская барракуда. Преодолев Великий Тропический океан, Дон Хуан попадает на родину Тургенева - в Бразилию, где встречается с изобретателем радио Ползунковым. Пытаясь пробраться в саванну сквозь чащу зарослей диких эвкалиптов, он попадает на подпольные Олимпийские игры, где его буквально потрясает мастерство и опыт спортсменов из Израиля. Завороженный сценой упорной борьбы в пятиборьи, он не замечает, что к нему подкрадываются воины и телохранители его злейшего врага - черного мага и масона, еврея-лилипута, педераста Таммерузо. Приверженцы каннибальной системы восприятия мира, они пытаются его съесть, предварительно изнасиловав и расчленив. Дон Хуан на волоске от гибели. Но вовремя подоспевшая подводная лодка "Балалайка 4-бис" спасает Дона Хуана. Со слезами на глазах команда лодки обнимает педераста Таммерузо, в котором она узнает своего капитана, утонувшего 40 лет назад в колодце. Приближается развязка.

V АКТ

Повествует о похождениях Галины Гусевой по прозвищу Золотой Член. Галина Гусева - передовик производства, возглавившая коллектив Экспериментального рыбинского кабельного завода в Рыбинске. Трудовому коллективу под руководством Галины Гусевой удалось в рекордный срок наладить производство радиокабелей из рыбы. В качестве приманки для рыбы Галина Гусева использовала мышечную кастрацию, благодаря чему рыба уже к вечеру приобретала свойства кабеля. Эксперимент Галины Гусевой нашел горячий отклик у молодежи. Используя отсутствие выпуклости в зоне погружения и наличия полости в области соединения, Галина Гусева добилась потрясающих результатов, за что ее и наградили орденом Дружбы Народов. Прекрасно владея несколькими языками и прекрасно отдавая себе отчет в том, что склонение это тело языка, Галина Гусева склонялась к использованию языка как тела. Отсюда рукой подать и до использования падежа. Падёж начался после того, как первая партия необрезанной рыбы поступила в свинарники. Падёж свиней способствовал увеличению поголовья медуз, интенсивно мутирующих в процессе сокращения. Сокращая тело языка, можно было рукой подать и до идеологической диверсии. Галина Гусева была немедленно изолирована и помещена в поросший торфом холм. Наблюдение за Галиной Гусевой было поручено Николаю Ивановичу Куропатко, создателю молекулярного распылителя. Распылитель помещался в жидкую среду, где и производились замеры. Вера Петровна Кусько, жена Николая Ивановича, тщательно следила за частотой замера и постоянно повышала интенсивность внутреннего сгорания тела языка. Язык пропитывался

жидким магнумом, благодаря чему приобретал свойства кадмия. При взаимодействии с рыбой среда давала щелочной привкус, несмотря на обилие кислоты, которую Вера Петровна постоянно расщепляла, используя для этого распылитель. Когда Николай Иванович Куропатко узнал об этом, он выгнал жену из дома. Вера Петровна обратилась в милицию. Начальником ярославской милиции оказался негр, Иван Семенович Ганнибал, последний отпрыск Пушкина. Он начал читать Вере Петровне венок сонетов, за что и был умерщвлен посредством распылителя рыбы. При помощи радиокабеля из рыбы, изобретенного Галиной Гусевой, Вере Петровне удалось связаться с Москвой. Используя тело языка, она убедила Бурбулиса в необходимости внутреннего переустройства. Бурбулис, понимая всю важность события, немедленно вылетел в Токио. Японцы были уже в курсе всего происходящего, так как им удалось перехватить сигнал, идущий по каналам радиокабелей, и немедленно предложили использовать для производства радиокабелей рыбу, пойманную в районе Курильской гряды. Бурбулис был страшно возмущен недопониманием японцами важности использования языка тела. Пользуясь статистикой, он выяснил, что площадь тела у японца в полтора раза меньше, чем у среднего размера башкира, и в 3 раза больше, чем у степного кролика. Таким образом, вопрос с языком уже не стоял, миссия Бурбулиса закончилась, и история вошла в свою колею. Народ продолжал трудиться, кривая рождаемости выпрямилась, а пресловутая Галина Гусева по прозвищу Золотой Член, мирно закончила свои дни в одном из женских монастырей Приамурья.

Конец драматической оперы

1984-1994

Сергей Курёхин - Михаил Болотовский

Дети - наше будущее

Сергея Анатольевича Курёхина я встретил в планетарии. Дело в том, что одну из крупных звезд, которую откроют в ближайшее время, насколько мне известно, назовут его именем. На презентации новой звезды будет звучать курёхинская музыка, а приглашенные смогут насладиться белыми грибами в клубничном соусе (любимое блюдо маэстро). Кроме того, каждому гостю вручат по ветке САКУРы, срочным разведением которой занимается сейчас администрация планетария. Почему сакуры - да просто это анаграмма С. А. Курёхина! Короче говоря, в ближайшее время нас ждет грандиозное шоу...

Впрочем, пока далеко не все идет гладко. Новая звезда еще не открыта, и вдобавок придется переписывать фонограмму - один из сотрудников планетария по ошибке вместо бессмертной курёхинской музыки записал "Лунную сонату" немецкого композитора Бетховена. Видимо, поэтому Сергей Анатольевич был опечален и разговаривать со мной явно не хотел.

- Давайте сменим тему,- сказал он мне, не дожидаясь первого вопроса.

- Конечно, давайте! - немедленно согласился я, фальшиво улыбнувшись.

- Будем говорить серьезно,- предложил он, с тоской посмотрев на меня.Вы, наверное, ждете от меня каких-то глупых шуток?

- Разумеется,- признался я.- Первое апреля наступает.

- Я серьезный человек, отец троих детей. Они все кричат, их нужно вовремя кормить. Повторяю: я очень серьезный человек.

- Сергей Анатольевич, я предлагаю вам стать главным редактором нашей газеты. Это - коллективная просьба всей редакции.

- К сожалению, я вынужден отказаться, дорогие мои... девушки.

(При этих словах я внимательно посмотрел на самого себя, потом оглянулся, но никаких девушек, к великому сожалению, не обнаружил.)

- Вообще, иметь печатный орган - моя давняя мечта. Но я вижу иронию в ваших глазах, увы. Притом, вы понимаете, если я приду, газета станет совсем другой.

- И какие же перемены нас ждут?

- Во-первых, я немедленно изменю название. Введу больше крови и патологии. Например, "Пять углов преступления". Во-вторых, сменю эмблемку. Этот чудный юноша, который бежит куда-то и размахивает руками - он такой правильный... Я бы ввел какую-то патологию - типа отсутствия одной руки или ноги.

- Года два назад в интервью нашей газете вы сказали, что она всем хороша, только скандалов не хватает...

- Нет, скандалов не надо. Я резко изменил свои взгляды. Наоборот, добропорядочность, гармония, простые, хорошие человеческие чувства... Вам не хватает ярко выраженной идеи. Кроме того, газету ничто не выделяет из остальных. Я бы сделал ее ядовито-зеленого цвета или ярко-оранжевого, такого мерзкого... Нужно думать о детях. Вы, надеюсь, знаете, что дети - это наше будущее?

Совершенно ошеломленный, я покачал головой. Такая оригинальная, потрясающе свежая мысль мне и в голову как-то не приходила.

- Детей и подростков интересуют вещи, о которых вы не пишете. Я не видал ни одной статьи о Дэвиде Тибете (музыкант такой.- М. В.), об индустриальной музыке, об Адольфе Гитлере, о вреде пьянства, наконец. Я знаю подростков, которые выпивают. Это настолько омерзительно, глупо, бессмысленно! А Россия - молодая страна. Даже младенческая. У нее интеллект только формируется. У вас какая зарплата?

Я испуганно пошарил в карманах, понимая, что у меня будут одалживать деньги, но не найдя ничего, с облегчением вздохнул и назвал цифру.

- Ну, это ничего,- одобрительно сказал Курёхин.- Это что-то около десяти долларов выходит? Или около трех?

- Больше!

- Двенадцать,- убежденно сказал он.- На банку "Кока-колы". А вы еще предлагаете мне стать редактором вашей газеты, да еще главным! Кстати, будь я редактором, вас бы уволил в первую очередь - за скептицизм. Давайте сменим тему...

- Вы любите приключения?

- Я люблю приключения в катакомбах.

- Подземные приключения. Я бы в катакомбах разместил сеть ночных клубов.

- И вы советуете нам...

- Я не могу предложить ничего позитивного - кроме как для самого себя и для круга близких друзей. Я не хочу навязывать свое мнение. Я не пропагандист. Есть вещи, которые я ценю, и вещи интимные, к которым я стараюсь никого не допускать...

- Вы человек открытый?

- Теоретически - да.

- В школьные годы много было неприятностей, связанных с вашим характером?

- Сначала все шло в нормальном русле - учеба, отметки... А потом в пятом классе произошел перелом -от человека, который приемлет все, до человека, который не приемлет ничего.

- Отсюда и ваша любовь к скандалам и разным эксцентричным действиям?

- Я терпеть не могу скандалы, считаю их безвкусицей и пошлостью. Просто есть несовпадение между внутренним движением и внешним. Это рождает трение. Я позволяю себе делать то, что считаю нужным.

- А что вам больше всего мешает?

- Мне ничего не может помешать... Впрочем, это все личные вопросы. Давайте сменим тему...

- А что вас интересует больше всего?

- Меня интересует область сакрального.

Я испуганно посмотрел на Сергея Анатольевича, и он, вздохнув, объяснил:

- Сакральное - это область таинственного, имеющая под собой ритуальную основу. Понятно?

- Нет,- признался я.

Он удовлетворенно кивнул головой.

- А область таинственного, не имеющая своего ритуала - это не сакральное, а "Говно-На-Палке". Понятно?

- Вот это уже понятно,- отвечал я.

- Сакрального в жизни очень много. Это область, которая всегда свежа, а свежесть - это то, что я больше всего ценю. Есть глупости, которыми я интересовался всю жизнь - философия, например. Раньше я старался все это скрывать, а теперь - нет...

Признаться, больше всего на свете я боюсь двух вещей - головной боли, потому что когда болит голова, ничего не пишется, и философии - потому что от нее начинает болеть голова.

Встретиться под первое апреля с философом -веселенькое дельце! Я было схватился за голову, но Курёхин сказал...

Как вы думаете, что сказал Курёхин? Правильно: давайте сменим тему!

- Вы еще не решили, как будете праздновать конец второго тысячелетия? решил я выпендриться и задать навороченный вопрос.

- А оно уже давно прошло!

- То есть как это - прошло?

- Очень просто. В связи с новыми астрономическими открытиями пересматривается вся астрология

как лже-наука. Сейчас уже известно, что знаков Зодиака на самом деле больше, чем это принято считать. И время идет вперед тоже быстрее. Я недавно купил несколько древних книг по календарям и хочу сейчас сделать для вашей газеты специальное заявление. Двухтысячный год прошел где-то пять-шесть лет тому назад, а вы этого даже не заметили.

- И чем это нам грозит?

- Ничем не грозит. Однако, давайте лучше сменим тему.

Холодный пот градом катился со лба. Мне казалось, что за пятнадцать минут общения я переменил, по крайней мере, тридцать тем, и все безуспешно. Курёхин, по-прежнему, наотрез отказывался шутить, или, быть может, все то, что он мне поведал - на самом деле было совершенно несерьезно. Он то и дело поглядывал на часы - очевидно, боясь, что они окончательно уйдут вперед. Иногда взгляд его скользил куда-то вверх, к куполу планетария, и мне казалось, что он рассматривает свою пока еще не открытую звезду и одновременно ругает нерадивого работника, перепутавшего его с Бетховеном. Как человек упрямый до неприличия, я сделал еще одну попытку.

- Вот у вас трое детей - одному двадцать один, другому - одиннадцать, третьему - полгода. Да еще внук. А вы вообще детей любите?

- Я очень люблю детей и подростков. Взрослые меня совсем не интересуют - это люди, которые остановились в своем развитии,- сказал он, участливо посмотрев на меня,- а дети и подростки - они все еще идут вперед. Кроме того, они по природе романтики, а романтизм для меня - категория положительная. Давайте сменим тему.

- Давайте,- согласился я обреченно.

- Я могу еще кое-что пожелать читателям вашей газеты,- вдруг сказал Курёхин.- Девушкам побольше юношей. Юношам побольше девушек. Всем вместе побольше денег. Лимонада не пейте - желудок испортите. Книги читайте только специальные и нужные - их вообще сейчас очень много развелось. Оберегайте себя от информационного нашествия. Лечите болезни. Спортом занимайтесь, но умеренно, не делайте из этого культа. Оранжевый цвет не носите - безвкусица, девушкам дарите цветы. Какие цветы человек дарит - показывает, что у него внутри. Цветы - это достойно мужчин и поддерживает романтизм...

- Так вы тоже романтик?

- Не отвлекайтесь. Еще переходите от кислот к щелочам, а то многие сейчас увлеклись кислотами. Занимайтесь наукой. Настоящий романтик сейчас -это человек науки. Ее надо поднимать.

Я так сосредоточенно следил за ходом его мысли, что на полном автомате нагнулся, чтобы поднять, не сообразив, что науки там нет, с трудом разогнулся.

- Кроме того, слушайте музыку Дэвида Тибета, слушайте любую постиндустриальную музыку. Не читайте газет с плохими названиями...

- Давайте сменим тему,- решительно сказал я...

Уже потом, при зрелом размышлении, я понял, что сердиться на Курёхина бессмысленно. Возможно, купола, телескопы, звезды - вся эта отъездная обстановочка планетария подействовала на него так, что он захотел говорить серьезно. Поди разберись! Но вообще свои бесподобные, изумительные приколы он обычно выдает поздней осенью и ранней весной -стало быть, время уже прошло, подождем до осени. Кроме того, он не юморист-сатирик - выдающийся композитор, и в последнее время написал очень много великолепной, свежей, такой разной музыки...

Так что если ты, читатель, хоть немного удивился, если ты не врубился в половину того, что сказал Курёхин, даже если вообще ничего не понял - моя задача с блеском выполнена. Обидно, правда, что первое апреля, которое наступает, мой любимый праздник, уже давным-давно прошел - если, конечно, верить заявлению Курёхина. Впрочем, давайте сменим тему...

Немой свидетель

Заявка на многосерийную телевизионную программу*

*Программа не была осуществлена.

Авторы программы, известный музыкант Сергей Курёхин и режиссер Дмитрий Месхиев ("Гамбринус", "Циники", "Над темной водой") предлагают взглянуть на музыкальную историю XX века с неожиданной стороны.

В парадоксальной, иногда сенсационной форме, они познакомят телезрителей с основными этапами музыкальной культуры нового времени джаза, психоделической музыки, музыкальным авангардом, сакральной музыкой этнических меньшинств,- однако, не в рамках канонического музыковедения, а эмоционального субъективизма.

Свободно совмещая музыкознание с психоанализом, скандальными гипотезами, оригинальными экстраполяциями, авторы, опираясь на уникальный видеоматериал, выстраивают полижанровую структуру - главным аспектом которой остается Музыка.

Влияние негритянского культа вуду на Луи Армстронга, ярко проявившееся в нью-орлеанском джазе начала века. (Вудуистский ритуал жертвоприношения мы видели в картине Алана Паркера "Сердце ангела".) Блюз Миссисипской дельты и сексуальная энергетика черного населения Америки. Юкио Мисима и новый японский шумовой террор (в центре онтологическая связь онанизма и харакири). Советская песня как форма музыкальных заимствований и открытого идеологического плагиата. Советский джаз как форма хасидизма. Советский рок как форма профилактической работы КГБ.

Загадочный лох-несский маг и чернокнижник Апистер Кроули, одна из главных харизматических фигур оккультизма XX века, и его влияние на Черчилля и Гитлера, а также таких музыкантов, как

Дэвид Боуи и "Лед Зепелин". Чикагский авангард и левый радикализм студенческой революции 1968 года во Франции. Экзистенциализм и "Новая черная музыка", Жан-Поль Сартр и Малькольм Икс, "Черные пантеры" и Гватари. Психоделия, хиппизм и их гуру во плоти Тимоти Лири, музыкальный футуризм и дадаизм, новая итальянская правая музыка и ранний фашизм. Сан Ра - посланник Сатурна, Нон и калифорнийский культ жестокости (Лаборатории по исследованиям в области выживания), Джон Кейдж и Судзуки (дзен-буддизм в Америке), Гурджиев и тибетская ритуальная музыка таковы сюжеты первых телепередач "НЕМОЙ СВИДЕТЕЛЬ".

В музыкальной социологической телеантологии авторы пропагандируют музпристрастия Ленина, Сталина, Хрущева, Че Гевары.

Широкая эрудиция авторов, фантазия и неожиданная подача материала, богатый иллюстративный материал обещают интересную музыкальную программу. Цикл предполагает ежемесячные одночасовые передачи. Монологи Ведущего (С. Курёхин), перед лицом НЕМОГО СВИДЕТЕЛЯ (физиогномически выразительные статисты, либо знаменитости) будут разворачиваться в экстравагантных местах и экзотической атмосфере.

Авторы уверены, что музыкальная история XX века, включающая такие имена, как Стравинский, Малер, Колтрейн,- до сих пор пребывает в забвении. Чтобы понять всю глубину музыки, мотивации и импульсы музыкального творческого процесса, следует обратиться к нетрадиционному взгляду оккультным, философским, структуралистским подходам. Неизвестные имена (или небанальные ракурсы уже известных), уникальные факты, музыкальные направления воссоздают перед телезрителями неведомую картину альтернативной истории музыки на рубеже тысячелетий.

В программах будут использованы видеоматериалы, фрагменты из фильмов, интервью, игровые эпизоды, записи живых выступлений, визуальный коллаж и т. д.

В работе над программами принимают участие ведущие музыканты, историки музыки, музыковеды, социологи, психоаналитики, российские и зарубежные эксперты и консультанты.

Слава Сэ

Справочный материал

Слава Сэ — псевдоним Вячеслава Солдатенко. Психолога по образованию, писателя и барда по призванию, маркетолога, журналиста и сантехника по профессии и одного из самых популярных блоггеров по практически единодушному мнению рунета (pesen-net.livejournal.com). Родился Вячеслав Солдатенко в Риге, 6 Апреля 1969 года. А может 5 июля 1969 года. Или вообще 30 августа 1969 года – интернет путается в показаниях и однозначного мнения на этот счет нет. Живет в Риге. Если писателей принято именовать знатоками душ, то Слава Сэ — знаток профессиональный: он окончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге, но не защитился. Его психологическая практика была короткой и яркой. Еще студентом Слава подрабатывал в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии, тестируя

армейских служащих, совершивших попытку самоубийства. Работа была грустная и малооплачиваемая, поэтому вскоре Слава перешел в фирму, специализирующуюся на психологическом тестировании персонала. После тестов руководители предприятий обычно получали неудобоваримые заключения о своих сотрудниках: экстраверсия, экстрапунитивность, эгалитарность… Солдатенко же взял на вооружение стиль, ныне знакомый многим по его интернет-дневнику. Так, улыбаясь над чужими кадрами, Слава открыл в себе талант писателя; а бизнесмены, надо полагать, помирали со смеху. Один из выживших пригласил Славу работать в его фирме маркетологом. Шаг за шагом, Солдатенко вошел в совет директоров группы предприятия. А потом его партнеры переехали в Москву, а Вячеслав ушел из бизнеса в сантехники. Карьерное решение Слава объясняет просто. Во-первых, у него родились две дочери, и хотелось бывать дома чаще и дольше. Тем более, девочки регулярно болели. А сантехник отработал положенное — и в пять уже дома. Можно вообще с утра бросить инструмент, заявить: "Не могу, похмелье!" — и уйти из конторы. Сантехникам прощается все! Во-вторых, получают сантехники нисколько не меньше, чем директора по маркетингу. Творческую энергию Вячеслав преобразовал в ЖЖ-блог, который зарегистрировал в 2005 году. Писал с упоением, шлифуя каждое слово — о дочерях Маше и Ляле; об умном, как Фейхтвангер, коте; о жене. Последняя не выносила популярность блоггера среди прекрасной половины интернета. "Опять со своими бабами переписываешься?!" — кипела она, заставая мужа сидящим у компьютера. Ведь когда–то этот же клялся в вечной верности, съев из ее прекрасных рук котлетку с макаронами! Еще больше жену раздражала новая профессия мужа, превратившегося из бизнесмена в пролетария. Правда, Слава пел под гитару и с этими навыками выступал в академическом театре: "Главный герой выскакивает на середину сцены, свистит. Мы с праздничными лицами неаполитанских музыкантов выходим из правой кулисы, играем три куплета и уходим вдаль". Но ангажемент жену не утешил, она все равно ушла. Зато у Вячеслава остались Маша, Ляля, умный и наглый кот, хомяк, что краше Джонни Деппа, и ставшая родной блогосфера. Аудитория сочувствовала разводу, рейтинг Солдатенко рос. Потенциальные издатели быстро заприметили ловкого на слова блоггера, предложили издать книгу его эссе. Первый предложенный гонорар составлял всего 600 долларов. Вячеслав решил, что пять лет творчества издавать за такой смехотворный гонорар не стоит из принципа. Затем другое издательство предложило другие условия… В 2010 году вышла первая книга Славы Сэ "Сантехник, его кот, жена и другие подробности". Особых надежд Вячеслав со сборником не связывал. Думал: если перестанет вести интернет-дневник, книга останется на память. Друзьям подарить, самому полистать. Но тираж в 3000 экземпляров читатели раскупили за три дня. В некоторых магазинах уже через пару часов после открытия книжку Славы Сэ буквально смели с прилавков! В итоге к настоящему моменту напечатано и продано свыше 100 тысяч экземпляров "Сантехника". В 2011 году был издан роман "Ева", в декабре 2013-го — "Сантехник. Твое мое колено". В 2012-м на большие экраны вышел фильм "Джентльмены, удачи!", сценарий к которому написали Слава Сэ и Владимир Нагорный. Когда писателя спрашивают, есть ли различия между Вячеславом Солдатенко и Славой Сэ, он отвечает: "Конечно! Слава Сэ — одуванчик; Вячеслав же Солдатенко менее белый и пушистый, потому что любит деньги, а еще посуду иногда моет не сам, а детей заставляет!"

Сантехник, его кот, жена и другие подробности

Дворник Виталик по прозвищу Сиреневый Туман всегда ходит с лопатой. Без лопаты он боится упасть и так остаться навек, горизонтальным. Трезвым он не работает, потому что есть некая фальшь в трезвых дворниках зимой. Но метёт как Аполлон.

В самые ледяные месяцы, когда в любом сугробе стекленеет свой отдельный ямщик, Виталиковы дорожки вымыты и высушены специальным перегаром. Случайные снежинки даже не пытаются ему мусорить и сразу сворачивают к чужим сугробам. Которые не сворачивают, тех Виталик догоняет и убивает железной лопатой. Из-за такого тяжёлого его заболевания у нас с Лялей протёрлись санки.

Народный китайский завод синих тазиков делает эти санки методом привязывания к тазикам верёвки. Выходит очень удобное изделие. В нём можно парить ноги, хранить помидоры и волочить детей в сад, если выпал снег или лужи.

Я потратил на санки три доллара и до сих пор не жалею. Я испытал их на себе. Развил с моста огромную скорость, хотел убиться с трамплина, но был спасён одной берёзой. Она чисто по-женски выбежала навстречу мужчине, одиноко летящему по небу в синих санях. Наша связь была мимолётной, но яркой.

Мы с Лялей ходим в сад через улицу, мимо кустов и забора. К нам выбегает весёлая собака породы «бешеный урод». Она орёт на меня, будто мы женаты. Я машу ей кулаком в нос, Ляля счастливо с нас хохочет.

После собаки опять кусты, забор, и вот мы въезжаем в вечно летние асфальты Виталика Сиреневый Туман. И скребём о них днищем.

Дальше очень технический текст, следите за пальцем. За зиму в санях протёрлись промоины. Сани загребают снег и складывают пассажиру под попу. А потом высыпают назад, на асфальт. Таким нехитрым способом контрабандые осадки проникают на территорию дворника-параноика. На чистом тротуаре под давлением Ляли загрёбанное выжимается обратно. За санями на асфальте остаются две полосы. Белые на чёрном, очень марсианские на вид. Будто инопланетянин с нездешним разумом принёс охапку снега и нагадил неземное послание.

Я могу купить сто новых санок. Но я видел, с каким лицом Виталик сгребает неземные следы. Он непобедим и прекрасен.

- Все марсиане могу лететь назад в свою жопу – словно говорят нам взмахи его бесстрашной лопаты.

Завтра я нарисую Виталику загадочные снежные круги и признаки посадочной полосы для тарелок. И подброшу записку:

«Виталик, прекрати стирать рулёжные знаки,
наши корабли вязнут в непогоде.
Твои Чужие»

2

Вчера, по пути на фигурное катание, Ляля вкусила от древа познания полную сумку французской косметики.

Как и всё, самое интересное в юности, это произошло на заднем сиденье родительского драндулета. Пока рулевая мать, Люся Незабудкина, рассыпала попутным машинам весёлые приветствия: – «Идиота обрубок», «Выбрось свои права» и «Куда прёшь, обезьяна вислоухая!» - Ляля изогнулась, подтянула сумочку, вытащила добро, зло и быстренько всё познала.

От раскрывшихся в косметичке перспектив девочка счастливо и тихо заскулила. В полный голос скулить было глупо, родительница бы услышала и захлопнула перспективы. Как мать и как женщина, она человек хороший, только жадный до косметики. Даже непонятно, с чего. Помаду

мы уже год как не едим. Иногда только сорвёт башню, нападёт странная необузданность, тогда конечно, прощай тюбик.

Ляля пренебрегла зеркальцем, работала наощупь, руководствуясь лишь творческой интуицией и несколько льстивыми представлениями о размерах своих губ, глаз и щёк.

Для оформления нижней части лица художник применила технику широкого мазка. Её живописной манере оказались присущи обобщенный контурный рисунок, условная упрощенность символов и яркая звучность отдельных цветовых пятен.

Светлые и прозрачные пейзажи правой щеки, динамичные бытовые сцены левой как бы воспели чувственную красоту и радость жизни. Композиция дышала поэтикой, игрой линейных ритмов и тонким колоритом цыганской свадьбы. Три широких чёрных полосы через лоб, по числу пойманных канализационных люков, как бы воспели вечное стремление души ввысь, к свету, к святым угодникам Илье и Николаю или кто там у них производит косметические наборы Bourjouis.

Глаза автор оформила с дерзким вызовом, слив в один компот аллюзии раннего Гогена, гротескный кич Лотрека и базовый принцип модернизма «Много туши не бывает!»

- Какая странная тишина! – вдруг насторожилась Незабудкина. И посмотрела, чтоб убедиться. А на заднем сиденье уже сидело всё, что думает Ляля о французской живописи начала прошлого века.

Поражённая красотой и чувственной мощью мирового импрессионизма, расцветшего там, где у других детей обычно видна голова, Незабудкина исполнила тройной ритбергер. Прямо за рулём. Окружающие водители приветствовали фигуру весёлыми криками «Идиота обрубок», «Выбрось свои права» и «Куда прёшь, обезьяна вислоухая!».

Конечно, Ляле не следовало в таком виде показываться матери. Это была девичья беспечность. Мать тоже женщина, ей завидно. Надо было выскакивать из машины и бежать к людям, навстречу восторгам других человеков, понимающих высокий мейк-ап.

Незабудкина решила, что выпускать на лёд такое Ботичелли нельзя. Все ведь убегут и будет скучно. Внутренний Люсин Мойдодыр поклялся поймать искусство, подтащить к воде и превратить назад в ребёнка. А горячую воду на каток не завезли. И водостойкая тушь дерзко рассмеялась в лицо внутреннему Люсиному Мойдодыру. Но и тот оказался не промах, и вскоре фигуристка Алика С. выкатилась на лёд с лицом, которое вы не сможете себе представить, если не видели позднего Моне. Ну, эти его пруд, кувшинки, солнечные блики на воде... Собственно блики и составили суть Лялиного образа.

А сегодня Ляля сказала:

- Когда вырасту, стану дядей.

И я её прекрасно понимаю.

3

У Ляли в попе дырка. Это ужас. В молодости её не было. Но вчера Ляля выросла и пошла мыть попу, сама. И нашла в себе ужасную новость.

И сразу наступило проливное горе. Слёзы по сто каратов прожигали ковёр, а на кафеле высыхали солёными розами.

В прежние годы, когда детство было не таким жестоким, а голуби вырастали с собаку, попой занимались специальные люди, из числа обученной родни. Мыли чисто, но молча. А вчера Ляля проверила чивой там и мир стал сер.

Раньше-то хорошо жилось с весёлой, а главное, целой попой. Форма, цвет, аромат, звучание – всё было безупречно. Персики считали этот зад лучшим среди себя и старались подражать во

всём. И вдруг, в самом центре датского королевства находится дырка, тревожная, как свист в ночи. Сразу сделалось неспокойно, а вдруг кто туда залезет? Или ещё хуже, выползет?

В романах про женщин пишут так: «Вся в слезах, с разметавшимися волосами, она кинулась к отцу». В литературе принято скакать к отцу всякий раз, лишь заметив у мужа лишних детей от трёх тайных браков, или если негодяй-сосед-плантатор ворвался ночью, повалил и таки да, сделал в попе дырку.

Конечно, в романах перегиб. Ляля бежала не вся в слезах, а только по пояс.

Теперь про Лялиного отца. Это немногословный мужчина с романтическим шрамом на мозге. Всем известны его бескорыстная лень и дурная фантазия, превосходящая возможности бога. Например, только он умеет сфотографировать человека так, чтоб вышел чёрный квадрат, знаменитая картина. А когда готовит свинину с овощами, сам решает, класть туда фасоль или нет. И потом - выбросить всё вместе с кастрюлей, или сначала выковырять мясо. Потому что интуиция и сила духа в нём. Именно он заклеил мячик изолентой, разбил им люстру, подмёл и спрятал осколки в диван. Только такой отец сумеет помочь, если попа прохудилась.

Ляля аккуратно залила родителя по пояс, чтобы потом можно было написать: «Отец и дочь, все в слезах». И потребовала оценить ущерб визуально, повернушись к миру передом, к отцу задом – посмотри какая там, ужас.

Что дырка маленькая, и даже симпатичная, не стало аргументом. Покой и воля не наступили.

Но совершенно внезапно, на 354-й странице отец признаётся, что дыркозадость – это у них семейное. И он сам, и мать их Люся, и лохматая сестра Машка – все они не герметичны. Более того, пуканье – это не абстрактный голос из дивана.

При всей своей непостижимости, внезапный скетч из жизни ягодиц Лялю позабавил. Когнитивный диссонанс перестал быть таким уж диссонансным. Конечно жаль, что мы оказались не семья принцесс, зато есть тема для беседы со Светкой и Юлькой, подругами по младшей группе детсада. Вот они удивятся.

4

Ляля встретила на улице друга по имени Иван, он шёл с отцом в неведомую даль.

- Привет, Иван! – крикнула Ляля так, что с дерева упала ворона.

- Привет, Алика! – крикнул Иван в ответ, но как-то дохло.

– Папа, это Алика, которая всё время плюётся и показывает язык – представил нас Иван.

Отец Ивана косо посмотрел мне в губы, будто ждал от меня неприятностей.

- Ляля, неужели ты плюёшься и показываешь язык? – спросил я громко и фальшиво. Мне нравится иногда, на людях, притворяться приличным человеком. Ляля ответила мне взглядом, что я трус. Настоящий друг на моём месте сам показал бы врагу язык и метко бы в них доплюнул. Так я узнал, что моя дочь выросла и в ней полно девичей гордости, надёжно защищённой слюнями.

Наблюдая, как кот чешет ногой подмышку, вспоминал других женщин нашего рода. Они все ужасно гордые и вооружены слюнями и разным домашним скарбом по утюг включительно. И скорей почешут ногой подмышку, чем позволят мужчине решить важное – куда передвинуть шкаф, по какой дороге ехать к маме, не скисла ли сметана и что нет, разводиться нам ещё не пора. Мужьям нашего рода оставлены мелочи, борьба с кризисом и выборы президента.

Моя кузина Ира работала на Кипре официанткой. Вернулась, поскольку в неё влюбился хозяин ресторана, утончённый богач Антонио, а это (читайте внимательно!) не входило в её планы. То есть, он моложе её, холост с самого рождения и образован. С точки зрения женской гордости выйти за такое невозможно, ведь что подумают люди. Хотя я знаю тут пару мужчин, они бы такой шанс не упустили.

Ирина бросает Кипр. Возвращается домой. Дома на второе сосиски, купаться в море мешают льдины, а трамвайных контроллёров боятся даже вурдалаки и бегемоты. Такое женское решение называется в народе «хозяйка своей судьбы».

Антонио прислал письмо с предложением всего, что смог наскрести - рука, сердце, ресторан. И по мелочи – тёплое море, безвизовый въезд на многие курорты.

«Ни за что не соглашусь, ведь я же я не дура!» – подумала про себя Ирина, чем навсегда убила любые наши допущения о женской логике.

Антонио прислал ещё письмо, там было больше страниц и в трёх местах зияли дырки от слёз, обугленные по краям. Она опять не ответила, потому что ходить замуж без любви ей не велела великая русская литература. За одно это, я считаю, Тургенева стоило бы защекотать до творческого паралича.

Тогда Антонио сам приехал. Загорелый, синеглазый, с волосатыми ногами. Подарил тёще цветы, назвал мамой. Хитрый чёрт, я считаю.

Ира сказала:

- Послушай, Антонио, ты милый, но выйти за тебя я никак не могу. На вот тебе борща. Поешь и езжай назад.

И дала ему ложку.

Послушайте, девочки, я много повидал, если богатый киприот просит у вас жениться, не пытайтесь его отвлечь борщём. Это раздражает.

Антонио встал из-за стола и сделал такое, за что можно навек простить мужчинам их патологически волосатые ноги. Он швырнул ложку в окно (попал!) и заплакал. И сказал что не есть приехал, а за невестой. И медленно так, рыдая, побрёл к выходу. А у гордых женщин нашего рода совершенно нет иммунитета против рыдающих богачей. Их глупое женское сердце, вопреки себе, всё ревущее жалеет.

«Да пошло оно всё в жопу, выйду замуж по расчёту», решила про себя Ирина. И я опять не понимаю, как относиться к женской логике.

Дальше в сюжете следуют сопли с сахаром, я этого терпеть не могу.

Это был единственный случай, когда абстрактный мужчина переубедил женщину нашего рода. И, наверное, последний. У меня теперь есть родня на Кипре. Моя тётка ездила, говорит Ирка сама руководит рестораном, учится бросать в окно ложки, но ещё ни разу не попала. В народе это состояние называется «счастливая дура».

5

У нас было принято драться заборными досками. По субботам. Доски были частью нашей танцевальной традиции. После танцев полагалось оружие вернуть, откуда взял. Можно было не прибивать, хотя бы побросать под вишни. Селяне сами всё приколачивали на место таким гуманным способом, чтоб боевая доска легко отдиралась вновь и гвоздей из неё не торчало. У нас очень культурная была станица.

Летом 1985-го года чемпионом по фехтованию на досках стал Паша Пятаков. Его все боялись. Его сила была в несчастной любви. Понимаете, есть такие мужчины, они любят насмерть. Если их не допускать к родным коленям, они делаются несчастными и могут взорвать сельсовет, отдубасить дискотеку и совершить ещё много разных красивых глупостей.

Паша любил Лену. А она его игнорировала. Женщины вообще боятся мужчин с фантазией. Стоит раз поцеловать ручку её двери, заглянуть ночью в окно или украсть туфлю, чтобы было с чем спать в обнимку, – сразу убегают. Женщины трусят настоящих чувств, вот что я вам скажу.

Сначала Паша боролся с чувствами православным способом. Он много и убедительно орал на икону Николая Чудотворца, просил прекратить половодье чувств. После молитвы выходил с красной рожей и вспотевший, очень старался. Портрет оказался неисправен. Еленины колени стали грезиться Паше днём при открытых глазах.

И тогда он вскрыл вены. В тазу, как настоящий эстет. Не за тем даже, чтобы она шла за гробом с распухшим от слёз носом. Паше просто было невыносимо. Очнулся он в палате среди алкоголиков, под глазом синяк, в душе всё те же колени.

И тогда Пятак стал драться на дискотеке. Ну как драться: все люди как люди, а он вёл себя ужасно.

Знаете, у викингов в раю наутро отрастали новые руки-ноги, взамен отрубленных. Так вот Паша дрался, будто он викинг, уже умер и наутро всё вырастет вновь. А станичники ж не знали.

И деревенская драка стала делиться на два акта. В первом бойцы враждебных кланов вяло машут досками и обильно угрожают «щас как дать».

Во втором врывается Паша, гонится хоть за кем, а вся дискотека улепётывает. Потому что ну его, дурака, к чёрту.

Однажды Паша набегался по драке, но удовлетворения не получил. И метнул свою доску вслед трусливым негодяям. Паша был хорошим мечником, но как метатель досок страшная бездарность. Оружие перелетело поле боя и попало в непричастную девушку Таню.

«Ну ты и мудак!» – подумала дискотека.

- Ну я и мудак, - согласился Паша и два километра бежал до больницы с раненой Таней на руках.

Доктор сказал, пусть Таня полежит до понедельника, а то пусто в отделении. Паша два дня сидел с Таней, перевязанной в районе гипотетического мозга. И уже вот-вот история бы закончилась хорошо и ожидаемо, но пришла Елена. В гневе. Она сказала, хватит её позорить, иди домой, картошка стынет. И добавила со значением, глядя в сторону:

– А то некоторые бабы совсем оборзели, готовы голову себе откусить, лишь бы захапать чужое.

Чтобы до конца прочувствовать эту историю о победе любви, включите скорее какую-нибудь слезоточивую песню и давайте плакать хором.

6

Если вы ненароком полюбили кота, вовсе необязательно на нём жениться.

Раньше я избегал с котами отношений, потому что не знал про них столько хорошего. И выращивал дома только два биологических вида: жену-человека и некрупных мух. А когда встречался глазами с бездомным котиком, вспоминал про блох и оборванные занавески. И оставался твёрд.

Другое дело ангелы. Не разводить ангелов я не обещал. А это как раз был ангел в образе кошачьего ребёночка. Он из скромности притворялся котиком, но меня не проведёшь. Я сквозь шерсть и когти различаю всех, кто суть смирение и добродетель. И в быту пахнет белыми нарциссами. Он сидел на лестнице у двери и вежливо поздоровался одними ресницами.

- Смотри, кто к нам пришёл – сказал я Люсе.

Люся знает про мою твёрдость. Она подумала, я рад котёнку, потому что сейчас его съем. И стала защищать животного с наивной женской хитростью.

- Давай, - говорит, - пусть он сегодня останется, а завтра мы повесим объявление в подъезде, вдруг это соседи себе на ужин купили.

Я предложил временно присвоить коту какое-нибудь незатейливое имя, например, Певица Женя Отрадная. Это очень воспитанная певица, давно хотел себе такую, но вряд ли мне разрешат принести её в дом. Люся избегает заводить певиц без родословной. Они-де блохастые, всюду гадят и лазят по столам. И катаются на занавесках. И мы назвали кота Пётр Ильич Чайковский, очень логично, по-моему.

В четыре утра Пётр Ильич выкопал в паркете ямку, и в доме запахло моей нетвёрдостью. Я весело спрыгнул с дивана и пополз искать. Искал-искал, искал-искал, - нету. Запах есть, а источника нет.

Опять искал-искал, думаю, всё. Надо звать кота и начинать душить-душить, пусть признаётся. А оказалось, он всё собрал, отнёс в ящик с песком и похоронил. То есть, и правда ангел.

На следующий день мне придумалось оставить сантехнику и уйти в великие русские писатели. Только не понятно было, что отращивать сначала, бороду или парадигму русской духовности. Поскольку холода ушли, а грустные без кота соседи остались, я начал с парадигмы.

И сел писать:

*«**Объявление**.*

Нашёлся котёнок. Цвет - леопардовый металлик. Ласковый, сзади небольшие бархатные яйца детского размера. Отзывается на имена Кузя, Тобик, Лена, Петя и Куда-вы-дели-пульт. Смешной, ночью кусает всех за пальцы ног. Кушает хорошо, на горшок сходил три раза, по нужде и просто так, из интереса. Умный, как Фейхтвангер.

Если это ваш котёнок и вам небезразлична его судьба, припишите здесь комментарий, и я раз в неделю стану вывешивать интересные истории про его личностный рост.»

Меня теперь вот что беспокоит, если человеческий самец (38 лет, 85 кг, лысый) приносит с улицы котёночка, он ещё мужчина или сразу малахольный идиот?

7

Любой мужчина мечтает напиться, сесть не в тот самолёт и чтоб наутро Барбара Брыльска гладила его пальцем по щеке. Поэтому баня для нас больше чем баня. И ещё мне сказали: будет ужин, всё домашнее, поросёнок с яблоком во рту, огурчики, пирожки с черникой. И я согласился.

Баня маленькая, двухместная, мне выпало мыться с Колей. Гости смотрели нам вслед с пониманием. Все были в курсе, Коля родился и вырос в мартеновской печи. При виде тазиков он дуреет. В нём просыпается огненный монстр, демон веника и пара. А я ж не знал. Я шёл просто мыться и говорить о женской вредности.

Он надел шапку, перчатки. По глазам было видно, надел бы и валенки, не было. Сказал, надо поддать. Поддавал, пока не взорвался градусник.

- Ну вот, теперь хорошо, - обрадовался Коля.

Меж тем, в парилке настало ядерное лето, всё вокруг сделалось лиловым и малиновым как на Венере в середине августа.

На всякий случай я показал Коле жестами, какой я несчастный. Как бы намекнул что сдаюсь и готов уже перейти к пьянству, самолёту и Барбаре Брыльской.

Коля сказал, сейчас мы восстановим мне оптимизм. С трогательной заботой к моим неурядицам он взмахнул веником каким-то самурайским способом. Примерно на втором ударе из меня выбежали все микробы, в том числе полезные. Тогда же открылась разница между баней и процессом распада ядра. И ещё я понял, кого из гостей планировали подать на стол с яблоком во рту.

На третьем ударе я отрёкся от гелиоцентрической модели мира в пользу плоской земли, плывущей на черепахе. Всё, говорю, Коля, никто нигде уже не вертится, только не надо больше вот этого.

В ответ Коля показал как делают «припарки». Ну, которые мёртвым ни к чему. Конечно, ни к чему. Кому ж надо чтоб мёртвые бегали по бане, жалуясь на ожоги.

Потом, когда я всё-таки выжил и ел пирожки с черникой, складывая их в столбики по три, и все гости казались мне одной сплошной Барбарой Брыльской, Коля рассказал Очень Короткую Историю.

- Однажды я мылся со сталеварами. Думал, сдохну. Было очень жарко, ужасно. Этих мужиков в деревне называли «сталевары». Они вообще беспредельщики. Один выбежал с тазиком под дождь, его ударила молния, он ничего, дальше мыться пошёл.

Так сказал Коля и тревожно посмотрел на закат.

8

У маленьких девочек бывают дни сплошного несчастья. С утра ещё мёд в кашу налили как-то не так. Не могу объяснить, но не так налили. Причём нарочно. Может, надо было нарисовать мёдом по каше ёжика, а вышел инь-янь. А на кой нам инь-янь, если надо ёжика. По любому, аппетит ни к чёрту и настроение.

Потом в саду, вместо жёлтой юбки выдали розовые шорты. Нормальные женщины за такое уходят в дождь в одной ночнушке, хлопнув дверью по голове всем этим мерзавцам. Но Ляля всех простила. И обиду ничем не выдала, лишь чуть оттопыреная губа стучала по коленям.

И почему, скажите, нельзя добавлять в компот горошек? Прекрасный горошек, красный, синий, полпачки пластилина на него ушло, всем бы пить и радоваться, – отобрали, наорали.

До ужина сплошная смурдятина. На ужин дали детскую национальную еду спагетти. Между прочим, если ребёнок немножко испачкал соусом брови, необязательно ржать и говорить «оближи их». Не семья, а лошади пржевальские, в эмоциональном плане.

А вечером Ляля слепила домик. Из одеял и табуреток - будто гнездо, из веточек и пуха. Но Машка, пьяный гунн в спальне патриция, грохнулась на домик пузом. И сил на аргументы с цитатами из Канта не осталось. Предупредительно пнув сестру ногой, Ляля применила боевой укус, как в фильме «Чужой». Может помните, в том фильме нервный инопланетянин с раздвижными челюстями объяснял Сигурни Вивер, что любопытсво – грех.

Ляля сделала инопланетное лицо и, зачем-то глядя мне в глаза, потянулась зубами к Машкиной спине. Казалось бы, такое невозможно, человек не способен укусить вогнутый предмет, например внутреннюю сторону сковороды. Это же детский рот, а не створки морского парома. Даже саблезубые, даже доктор Лектор начинали есть сестёр с других, более удобных мест. Поэтому отец (то есть я) сидел, смотрел и никого не спасал. Меж тем Ляля распахнула злую пасть на отрицательный угол и вцепилась любимой сестре в позвоночник. Потому что если ребёнок взбешён, он перекусает весь юрский период со Спилгербом во главе.

Маша орала очень громко. Ей показалось, что от лопаток до попы в ней теперь пауза. Я орал потому, что генерал-майор семьи должен орать. Если начальство не орёт, добру нипочём не победить. Ляля тоже орала, чтоб помнили, кто тут самая несчастная. Всё вместе это называлось «поиграть перед сном в спокойные игры».

После, конечно, мы мирно пили чай с баранками, приветливо показывали друг другу языки и грозили потом устроить. А всё оттого что тёплый семейный вечер – очень широкое понятие.

9

В квартире 19 живут лучшие шорты микрорайона. Зовут Марией, 28 лет.

Вызвает нас однажды, заводит в ванную, садится на корточки и показывает рукой куда-то вдаль, где темно и трупы тараканов. Там течёт, говорит.

И мы стали смотреть. Я - на женские коленки, Игорь - на пейзаж в целом. Он в ногах совсем не разбирается, неандерталец.

Вид на Марию открывался чудесный. Холмы переходили в долины, долины бежали за горизонт, в декольте были различимы трусы, на такое можно смотреть бесконечно, как в водопад.

Мария, - говорим мы, - боже ж мой! Всё исправим, заменим на новое, заграничное, если надо, выйдем в ночную смену.

Сантехники вообще отзывчивы к прекрасному, от позднего Модильяни по шорты Марии включительно.

Мария отвечает, хорошо, приходите завтра.

Потом я спрашиваю, Игорь, ты хоть видел, куда она рукой махала, где течёт-то? Вдруг там вишнёвый компот, или огурцы взорвались, под ванной. А он только вздохнул в ответ.

Вы не представляете, что какие артефакты некоторые хранят под ваннами.

Например, одна старушка держала там дохлую кошку. И жаловалась на запах. Игорь пришёл – увидел - натошнил, с испугу. Выходит весь бледный. Извините, говорит, мы не можем исправить случившегося. Мы не боги, кошек воскрешать.

Так вот, про шорты. Когда мне с утра разбивают сердце, я весь день молчу. А Игорь наоборот, рассказывает случаи про любовь.

В армии ему повезло встретить женщину с огромной задницей. Но она оказалась холодна. Во время секса лузгала семечки. Игорь до сих пор не залечил рану в душе. Две жены сменил, а былое не отпускает.

В прошлый его рассказ эта женщина вообще-то грызла яблоко, но это ничего.

А с другим нашим знакомым, Петей, она курила «Беломор». Я так понимаю, эта одна и та же девушка. От неё многие пострадали.

От разных людей я слышал как она во время секса:

- смотрела в окно с пятого этажа;

- читала роман, Кафку;

- говорила по телефону с мамой;

- насвистывала увертюру к Кармен композитора Бизе.

Думаю, это очень умная женщина. Ни с кем она не вязала носки на шести спицах, что ужасно не эротично. То ли дело курить, кусать яблоки, свистеть и смотреть в окно, невероятно будоражит.

К обеду Игорь разволновался, стал проницателен, как дельфийский оракул. В квартире 32 отвалился смеситель, Игорь сразу понял: хозяева в ванной практиковали коитус, подруга держалась за кран и оторвала к чертям.

В квартире 53 пожилая алкоголичка Зинаида Петровна встретила нас в атласных панталонах. Тоже специально. Соблазнить хотела, старая карга.

И до самого вечера определял по походке, кого стоит клеить, кого нет.

Вечером я повёз его к проституткам. Они у нас вдоль шоссе стоят. Сам-то я не, ужасно стеснительный и нипочём не отдам поцелуя без любви. Ну, когда припрёт, пишу в Интернете рассказы про чужую страсть. А Игорь после встречи с задастой женщиной иногда срывается.

Вот ездили мы, выбирали- выбирали, все страшные какие-то. Лучше на передовую, чем с такой целоваться. Даже Зинаида Петровна в атласных трусах краше. Потом видим, идут две, ничего себе. А это оказались обычные девчонки, только сильно матерящиеся. Тремя ёмкими фразами они погасили Игорю либидо на весь остаток лета. Ошибся, блин, оракул. И тогда, неусталые и недовольные, мы поехали домой.

10

Знакомая тётя влюбилась в троллейбусе, хоть её муж ещё не умер, а просто лежал на диване с газетой. Она даже вступила в преступную переписку, полную интимных подробностей.

(У меня полно знакомых тёть, живущих интересной жизнью.)

А её телефон в душе был демоном. Он тётины письма отправлял избранным родственникам, для ознакомления.

Родственники читали с большим интересом. Никто не возмущался. Всем хотелось знать, что скажет Луис Альберто в последней серии.

Тётин же свёкор решил: все эти страстные эсэмэс, «во сне целовала твои руки», и «всюду слышится твой смех» - всё ему. Он был принципиальный оптимист.

И надел галстук, купил тюльпанов, презервативов, побольше. Пришёл и говорит: так и быть. На всё согласен. Давай начнём новую жизнь прямо тут же, на кухонном столе.

В ответ тётя ударила свёкра итальянской сковородой Балларини.

Раненый точно в ум свёкор вернулся и наябедничал свекрови. И сразу у него на лбу стало два отпечатка, один итальянский, другой неразборчивый, неизвестной китайской фирмы.

Свекровь пошла к невестке, спросить о дальнейших перипетиях в сюжете. Они пили чай и расстались, довольные друг другом. Даже целовались. И все там довольны, даже муж лежит по-прежнему с газетой, в его рогах пауки свили город. Ему только газеты перезаряжают раз в сутки. Хороший муж, тихий.

У женщин фантастическая способность договариваться. Они убеждают и объясняют, не обращаясь к разуму. Они передают суть, не обременяя память деталями.

Вот, например, Маша рассказывает про Пушкина. Путает термины, но смысл верен:

«Жену назвали нехорошим словом, и Пушкин вступился за её имущество. Тогда враги вызвали Пушкина на олимпиаду и стрела попала прямо в грудь. В общем, умер. И вот, папа, я всё хотела спросить. Что такое секс?»

Пассаж про Пушкина мне понравился, вопрос про секс не очень. Сам я представляю, что это за штука. Даже пробовал на себе, несколько раз. Но объяснить не возьмусь. Будь я женщина, передал бы в пантомиме. В крайнем случае, рассказал бы на примере нашей бабушки.

Но Маше 7 лет, ей рано знать всю правду. От неумения правильно, по-женски наврать, я нем и беспомощен.

Или вот. Один сантехник, Иванов, решил отомстить клиентке. Она недоплатила 200 долларов и сильно пошатнула веру Иванова в добрых фей.

За это он пробрался в подвал (жадная женщина живёт на первом этаже), и через лючок ревизии вставил в канализацию надувной шарик. И быстро-быстро надул. Кто не знает, шарик держит столб воды высотой в два этажа.

Назавтра удивлённый унитаз жадной женщины сам себе казался Везувием. Он извергался и рокотал. Женщина бегала по этажам, уговаривала соседей носить своё ка-ка на работу. Соседи обещали, а сами всё равно. По привычке. Потом вспоминали, конечно: «ой, эта, снизу, просила

пощады». Им становилось стыдно, но не очень. Потому что говно не подписано, поди разберись, кто предал. Вечером шарик лопнул, но Иванов отомстил ужасно.

А через неделю звонит Иванову другая женщина, с растерянным голосом. В унитаз упала серёжка. С бриллиантом. Фамильная. Стоит тридцать тысяч долларов. Если вытащите, получите десять процентов. Или даже пятнадцать. Только я её нечаянно смыла.

Прошло всего десять минут, а Иванов уже разбирал подвальные трубы, обращаясь к ним «вы ж мои бриллиантовые».

Он знал все места, где скапливаются тяжёлые фракции. Он сначала брезгливо ковырял палочкой, потом адаптировался, притащил сито. Как в фильмах про старателей. Через шесть часов унизительного труда возникло подозрение. Весь в результатах своих поисков, он побежал в квартиру заявителя, там сидела жадная женщина с подругой. Они пили кофе и глаза их были такие голубые, что Иванов понял: обманули! Только другими, более точными словами.

И я опять не знаю, что сказали женщины. Только Иванов не стал в тот день убийцей. Наоборот, теперь он пишет жадной женщине эсэмэс интимного характера. И недалёк час, меж ними случится то, что я испытал, но описать не в силах.

И кстати, так и не придумал, что сказать Маше.

11

Маша повстречала хомяка. Одинокий, прекрасный как Джони Депп и такой же нужный в хозяйстве. Он переползал дорогу в опасном месте. Рост средний, шатен, глаза грустные, холост. Он явно пережил травлю, непонимание и планировал умчаться вдаль розовым пятнышком на скате грузовой покрыши. Но встретил Машу.

Ну как вам объяснить про девичье сердце. Вот через дорогу ползёт Джони Депп. Трезвый, несчастный, пушистый. Разве б вы не принесли его домой? Я бы – ни за что!

Теперь он живёт у нас в шкафу, в тазике. Из еды предпочитает хлеб, салат и немного туалетной бумаги на сладкое. Очень воспитаный.

Кот сначала думал, это мы для ему принесли. Смотрел на нас с удивлением и благодарностью. Он с детства хотел хомячатинки. Ему редко приносят китайскую еду из ресторана - птиц, лягушек, хомяков.

Коту объяснили газетой по ушам, хомяки нам друзья, а не жиры и витамины. Теперь кот считает, мы дураки ненормальные. Сегодня не жрём хомяков, завтра дружим с пиццей, целуем в нос сардельку и недалёк тот час, мы женимся на бутерброде.

Вот сейчас ручка двери поворачивается, как в кино про маньяков. Это кот хочет на себе доказать, хомяк – вкусный и полезный зверь. А дружить лучше с котами, они хотя бы обаятельные.

А ночью этот мешок какашек сбежал. Наш шкаф - отдельная комната. Там всё пропадает, особенно носки, которые ползают, вопреки заверениям производителя. Теперь вот хомяк.

Всю ночь осатаневший кот целовал дверь шкафа. Под утро стал биться в неё головой.

«Да что за жопа, опять травля и непонимание», - подумал хомяк и ушёл жить куда-то в район старой обуви. Пришлось пустить по следу сами знаете кого, у него встроенный GPS-навигатор. Кот быстро определил какой из тапков содержит хомяка, получил газетой по ушам, ушёл на подоконник и теперь воет по-японски: ай-йо, ай-йо.

Люся сказала, этот хомяк - женщина. Господи, а вдруг он ушёл из дому потому что забеременел и боится признаться отцу? Теперь родит шестнадцать разноцветных младенцев неизвестно от кого. Я не думал промышлять хомяками в ближайшие годы.

Столько событий, столько событий, пойду на работу, отдохну.

12

Сейчас три часа ночи, хомяк громко кушает железную клетку. Ему вкусно. Он чавкает.

Знаете, я хотел бы и дальше писать про чёрствый мир длинноногих женщин. Или из жизни сантехников, ироническое. Или кулинарные тонкости – отцу на заметку: «Дети любят воблу с чаем, а пиво отвергают».

Но теперь это дневник хомяковода, ничего не поделаешь.

Три дня назад он как бы сдох. Были все приметы. Клетка брошена на солнце, в ней лежит хомяк, лицом вверх, лапы скрестил и улыбается. Такой безмятежный, что никаких надежд. Мне сказали, они нежные как вампиры, мрут от тепла и солнца. Я трогал пальцем тёплый пузик и не знал где найти такого же, пока Маша и кот не расстроились.

Когда-то в Риге была клиника по хомякам, частная. Туда сдаешь простуженного, с оторванной лапкой, простреленного насквозь хомячка. Назавтра забираешь – он уже здоров. И как раньше, не отзывается на имя, значит тот же.

Лечение стоило дороже норковой шубы, но мы в ответе за тех, кто так забавно грызёт по ночам железные предметы.

Я покатал усопшего в ладонях, пульс не нашёл. За ногу понёс в мусорник. Тут он открыл глаза и что-то такое сделал ртом, может они так зевают, непонятно. И ещё он посмотрел так, недоверчиво что ли.

Понимаете, Маша с ним играла, играла на износ. Он очень устал. Проснулся – уже всё, несут на помойку.

Думаю, я не первый хозяин в его жизни. Может быть, пятый. Он очень крепко спит. Ему главное потом выбраться из мусорного бака, когда снова недопоняли.

С его зубами это просто. Граф Монте-Кристо таким оборудованием сточил бы замок Иф, скалистый утёс, одежду и личную утварь тюремщиков всего за неделю. Графа бы выгнали из всех тюрем с пометкой «грызун и сволочь».

И ещё эти зубы, они ядовитые. Укушенный фотоаппарат мгновенно умер. Поэтому я не могу сфотографировать и показать. Возьмите сами в Интернете харю абстрактного хомяка. Если интересно. Всё равно они имён не различают.

13

Хорошо Александру, он врач, брюнет и композитор длиной 192 сантиметра. За одно это женщины мечтают зарыться носом в его свитер. И позволяют ему не уметь вкручивать лампочки.

Конечно. Если ты красив, как гвардейский конь, можешь и мусор не выносить. Просто сиди в кресле, пей шабли, регулируй доступ к свитеру.

То ли дело мы, невзрачные крепыши. Нас не мучает вопрос, куда деть сотни изнывающих от любви женщин. Никто не сморкается нам в свитера даже за деньги. Привлечь внимание какой-нибудь пастушки мы можем, лишь приковав её к батарее. Мне, например, приходится быть сообразительным и даже искромётным. И проницать устройство опасных бытовых механизмов.

Поэтому я разбирал диван, а Бекназаров, эта красивая, но тупиковая ветвь эволюции, допивал шабли. Потом я пошёл в душ. А он лёг и всё сломал.

Над Москвой меж тем вставало розовое утро.

Понимаете, это была наша общая кровать. Так сложилось. В чужом городе, в гостях. Мы делали вид, будто ничего такого, два самца в одной постели. Время тяжёлое, кроватей всем не хватает, у мебельщиков неурожай.

С Бекназаровым, кстати, спать нормально. Он почти не храпит. Он почти идеал, на женский вкус.

Так вот, Александр сломал нашу постель, пришёл к ванной и стал жаловаться сквозь дверь. Родись он невзрачным крепышом, сам бы и починил. Но он большой и красивый. Поэтому без меня не может. Я ловлю нам такси, читаю надписи в аэропортах. Объясняю, что «50» в маршрутке это рублей, а не евро. И ремонтирую всё, к чему он прикасался.

И вот стою в душе, а он тревожно так орёт:

- Слава! Слава!

И дальше невнятное, про неудачную конструкцию мебели, что хочется спать, все ушли и почему я не отвечаю.

Любая речь сквозь дверь неразборчива. Как-то жил я в общаге с одной пастушкой, а за фанерной стенкой ночевала семья алкоголиков. Они разговаривали и мы разговаривали. По утрам женщина-алкоголик делилась:

- А я своему говорю, помолчи, дай послушать, о чём люди говорят. Ведь что интересно, Вячеслав, голос ваш слышен, будто вы напротив сидите. А слов не разобрать. То есть совсем.

Зная такое свойство фанеры, мы с пастушкой болтали вслух о чём угодно, а любились только шёпотом.

Так вот. Я не понял сквозь дверь, чем не понравилось Александру это розовое утро. Подумал только, что хочу побыть один, хоть недолго. И не открыл ему, и не ответил.

А когда вышел, он уже спал на руинах дивана, как усталый моряк на обломках шлюпки.

Дальше была неприятная сцена. Я ругался высоким голосом: «Вставай-сволочь-сколько-ты-будешь-пить-мою-кровь!» Тряс его и пробовал стащить за ногу на пол. Подробнее вы можете посмотреть в фильме «Бриллиантовая рука», где Нина Гребешкова будит пьяного Никулина и спрашивает про пистолет и деньги: «Откуда это?» А Никулин отвечает очень логично: «Оттуда!»

Я дулся потом на него до самой репетиции. Но Бекназаров мало что врач, брюнет, 192 сантиметра и композитор. Он же ещё и баритон. Как на такого сердиться. Помирились, конечно.

14

Знакомый художник по паркету прятал в трусы отдельные фрагменты своего творчества. Ему не разрешали ничего выносить с работы. Три года задница пылала от заноз. Зато теперь его личный паркет дороже всех квартир подъезда. Мозаика из редких пород дерева. Он в гостиной выложил готическими буквами имя жены и вокруг такие, как бриллианты из дерева.

Теперь он окон не открывает, чтоб не повело. Сквозняк паркету вреден. По углам градусники и гигрометры. Следит за температурой (должно быть 22 градуса) и за влажностью. Постоянно в напряжении. Мебель на войлочных подушечках.

А жена ушла, к таксисту. Ей в браке дороже оказалась возможность трахнуть об пол банку маринованных помидоров. Она неделю там уняться не могла. Роняла невзначай мокрое, режущее и горячие блины. И форточки открывала и закрывала хаотично, без всякой системы. Издевалась над линолеумом как могла.

Или наденет каблуки и ходит. Ей нравилось, какой таксист не нервный абсолютно.

15

Вчера, в половине пятого, Ляле открылась тайна происхождения нашей семьи. Знание поступило прямо из космоса, где-то в перерыве между сосиской и компотом.

Пересказываю.

Мать детей моих Люся Незабудкина жила всегда. Она вечная.

Первым она родила меня. Потом Лялю. Мы с Лялей хорошо играли, но вдруг я родил Машу, эту вредную сестру.

Потом Незабудкина родила кота Чуню. Чуня в животе щекотался усами, Люся хохотала.

Так сказала Ляля и весело посмотрела в компот. Ляля, когда узнаёт из космоса новости про котов, всегда радуется.

Я тоже съел сосиску, но умней не стал. Ничего такого по крайней мере.

В моем мироздании люди по-прежнему слеплены из еды и скандалов, мыши родятся из забытых под диваном носков, а плоская Земля плывёт на черепахе. Если в песочнице рыть яму, упрёшься в твёрдое, это панцирь.

В субботу ездили на край плоской земли, орать концерт. Бард Саша нашёл себе жительницу края земли Люду в прозрачном костюме. Бард Вова обрёл трудное счастье в лице педагога Светы. Света за искусство готова на многое, особенно, пить кровь холостых бардов.

А меня повстречал пожилой поэт Василий. Он до ночи читал мне в грудь поэзию и все приличные ноги распугал какой-то сатанинской икотой.

Моему небу жалко для меня женщин. Надеюсь, оно бережёт моё либидо для каких-то крупных мероприятий. А может, просто ем не те сосиски.

16

Первую помощь оказала Люсьен. Она позвонила подруге Наташе.

У Наташи медицинский диплом, скорей всего Наташа его украла, перебив охрану на дипломовом заводе. Других объяснений, откуда у неё диплом я не нахожу.

Наташа спросила как выглядит больной.

- Лежит и кашляет - ответила Люся.

- Это грипп, – сразу поняла Наташа, – дай ему ремантадин, побольше.

Я на пальцах показал, как к тому же драматически охрип, что горло в огне, миндалины как фонари, лимфоузлы как жабры, но танец моих гибких рук никого не взолновал. Если б мне оторвало ногу, а из спины, дымясь, торчал топор, они всё равно б решили что это грипп, только в запущенной форме.

- Насыпь ему на раны ремантадину, - сказала бы Наташа, - побольше!

Утратив доверие к Люсе, я договорился с Машей на горчичники. Их надо было наложить три штуки: один в центре, и два латерально, в области подключичных борозд.

По нарисованным на груди крестам Маша видела, куда бомбить. Мы сложили горчичники в кипяток, сосчитали до пятнадцати. На последнем счёте Маша вдруг хватает всю кастюлю и бежит прочь, хохоча. Родителей лучше всего лечить юмором, думает Маша. Я с обнажённой грудью, в нарисованных крестах, кричу: «Вернись немедленно, гадкая девчонка!» - и ещё что-то такое про ремень и попу.

Маша возвращается. По команде «давай!» с размаху заклеивает мне пупок, что на полметра ниже всех ориентиров. Ей всё равно в каком месте ремонтировать отца, отец ей дорог всюду.

Потом приходила родная сестра. Принесла «чай из исландского мха». Я его три дня пил, а он оказался от анорексии. Теперь и ночью снится, как я ем.

Интернет посоветовал взять на кончик ножа красного перца и аккуратно высыпать «на спинку языка, где меньше вкусовых сосочков».

Потом быстро запить препарат тёплой водой. Обещался быстрый, яркий эффект.

На случай, если организм решит вдруг чихнуть с ножом во рту, яндекс советовал применять нож столовый, круглый со всех сторон. В противном случае возможна-де самопроизвольная ампутация гланд, чего-то я к такому не готов.

Намотал шарф, пошёл в клуб музицировать. Там сразу три шатенки похвалили, сказали какой я в шарфе милый. Собственно, кроме этих трёх женщин ничего хорошего в ангине и нет.

17

Каждую пятницу мы с мужиками ходим играть в одно кафе, хоть оно ни в чём не виновато. У нас традиция дарить своё искусство всем, кто не в силах отбиться.

Местные считают это кафе нехорошим местом. Многие в ночь на субботу уезжают, похватав самое дорогое, в основном котов. Кому бежать некуда, те потеряли интерес к размножению, верят в добрый метеорит, чей прилёт однажды избавит мир от бардов, и особенно от ленинградской фабрики кривых гитар, из-за которой всё началось.

В кафе работает барвумен Галина, она раньше танцевала в «Тодесе». Так вот, если вы пришли хулиганить, Галина аккуратно навтыкает вам по печени и почкам своими танцевальными ногами. Она никогда не ждёт, пока мужчины-барды встанут и запоют песню-протест в защиту женщин и посуды. То есть нас Галина могла бы отметелить даже лучше метеорита, но почему-то терпит.

По пятницам я возвращаюсь поздно, в четыре часа субботы. И сразу хочу спать. Кот щурится на меня левым-правым глазом по очереди, ему после темноты ярко смотреть. Потом я в кровать, а у него уже нет настроения. Вчера он добыл в плинтусе шуруп и стал играть в хоккей.

Послушайте, мой кот кричит «GOAL!!!», если игра проходит ночью. А днём не помнит.

Во-вторых, в природе нет явлений громче, чем огромным шурупом по паркету. Это ещё хуже, чем уронить рояль или паровоз в какой-нибудь железный таз. Я пустил в кота подряд три тапка. У меня не было под рукой другого оружия от бешеных котов. Потом задумался о парности мужских ног в эту раннюю субботу, и многое не совпало. Так, перемножая в уме тапки с ногами, и уснул.

Утром не нашёл ни шурупа, ни тапка. А в обед мне прислали фотку, на ней мы с Володькой напряжённо клеим какую-то кралю.

Так вот, кралю я тоже не помню. Это очень обидно, когда у памяти провал как раз в том месте, где по документам должна быть блондинка. И я бы не прочь вновь найти эту женщину, спросить, чем ей было плохо в моём вчера.

18

Тётку из 32-й квартиры прозвали «Батарея капает». Летом всему дому меняли радиаторы. Всем обычные, а ей выпал прибор повышенной мерзости. Он капал внутри себя противным голосом. Тётка ворочалась до трёх ночи, потом послушно шла спать в кухню. Сделалась раздражительной, ходила непричёсанная такая, с жёлтыми зубищами.

Капало очень коварно, раз в две минуты. На краю засыпания. Только сознание отъедет, сразу: «кап!» — жестяным и едким капом. Днём почти не слышно, а ночью прямо в мозг.

Тётка из 32-й не была трусом. Если погибать, решила она, то пусть все знают, от чьих рук я сошла с ума.

И скоро весь дом и район узнали, где установлен самый подлый в мире радиатор. Шесть сантехников разной степени ума искали лужу, лично управдом искала, один инженер-теплотехник приходил, пукнул в тишине и ушёл. За полгода поисков нашли много навек пропавшего, вывели тараканов, только воду не нашли.

- Я же говорю, она капает внутри себя, — объяснила пострадавшая этот загадочный случай.

И вот ей посоветовали применить для поисков лично меня. А я уже семь лет как ушёл из большой психиатрии в сантехнику. И как раз чтобы не общаться впредь с хозяйками бесноватых батарей, говорящих пылесосов, телевизоров с чёрной душой и других удивительных устройств. Но я вспомнил, как мне не давал спать кот, и согласился.

Мы стояли, слушали. Сначала, конечно, загудели животы, мы сделали вид, что это не наши. Подождали ещё. И вот со шкафа, где часы и заросли портретов каких-то вурдалаков, раздался чёткий «клыц». Его сказали часы. Знаете, такие, где вместо маятника шарики крутятся. При смене левых вращений на правые в часах кто-то икал.

Тётка не хотела верить, пыталась уговорить меня на полтергейста, раз это не батарея. Капающие в мозг родные часы разрушали её картину мира. Но их вынесли на кухню, и капель прошла.

Тогда я сказал:

- Послушайте, давайте не скажем никому про часы, а скажем, будто я починил батарею».

Тётка обрадовалась и закрепила нашу тайну большой такой купюрой.

Теперь, став богатым, я хочу сказать, если б не сбежавшая из воспоминаний блондинка, я был бы совсем счастлив.

19

Самая моя прекрасная, я невыносимо, лопни моя голова, как хочу с тобой говорить, прямо сейчас. Но тебя нет нигде. Поэтому вот письмо. Слушай.

Нас был целый совет директоров. Я заведовал маркетингом. Иногда нам приносили новый кетчуп, утверждать. Это был такой эксперимент на живых директорах.

Макать туда сосиски считалось моветон. Настоящий, фильдеперсовый директор наливал кетчуп на большой палец, как соль для текилы. Мазок следовало нюхать с трёх сторон, лизать. Потом полагалось смотреть вдаль тревожно, чмокать и говорить что боже, какая в этот раз получилась грандиозная, бесподобная, потрясающая, удивительная дрянь!

Директор по логистике ещё требовал писать в резюме только матерные слова. Иначе, говорил он, наши экспертные оценки кажутся лестью. Для убедительности вскакивал и яростно полоскал рот. После этого рецепт утверждали.

У нас было пять заводов, по всей стране. В каждом две трубы. В первую втекала бурая жижа, три поезда в неделю. Вытекало столько же, никто не хотел эту жижу воровать. Во второй трубе, кстати, текла уже иная, ярких и чистых расцветок жижа.

Всё красное и бордовое мы назначали быть кетчупом. Желтое и белое – майонезом. До сих пор не понимаю, как из одних химикалий получались два таких разных на вид говна. Ну да я же там не алхимиком служил.

Моя работа была выколачивать деньги из еврофондов под дурацкие проекты. Например, 50 тысяч евро на разработку этикетки маринованых огурцов. Папка объяснений - почему так дорого - весила полтора килограмма. Там были гистограммы, слова фокус-группа, стробоскоп, стохастическая функция, читабельность бренда, скорость распознавания шрифта, психофизиология восприятия цвета и любимая моя фраза:

«Треть нарисованного огурца рождает больше огуречных эмоций, чем целый живой огурец».

Я клялся создать этикетку, от которой всё живое полюбит огурцы. Толпы огуречных зомби зашагают по улицам. Семья, старушка мать, синие глаза доктора Хауса - всё будет забыто и проклято, стоит жертве угодить в зону действия нашей разработки.

На последнем листе был намалёван эскиз вероятной этикетки с пятном от пиццы. Это финансовый директор уронил свою порцию, прямо на полотно. От удивления. Наш художник Ваня-алкоголик срисовал треть огурца с фаллоса в разрезе, из книги «Анатомия патологий». Другой книжки с примерами огурцов у Вани не нашлось.

Никто не верил, что Европа даст денег. Но она дала, потому что добра к искренним идиотам.

Тот год был огуречным. Их уродилось до жопы, если измерять мной, гуляющим в огурцах посреди склада.

Директор по производству придумал как сэкономить сорок копеек на каждой банке. Надо отменить охлаждение. Заводской огурец заливают кипятком и быстро охлаждают. Тогда он хрустит. А неохлаждённый огурец потом на ощупь как детские сопли. Но мы же не знали. Горячие банки грузчики складывали в кубы и заматывали целлофаном. Через неделю банки из центра куба всё ещё хранили тепло. Ими можно было греть радикулиты, насморки и почечные камни, только неудобно.

Наш варёный огурец не разрешал колоть себя вилкой. Это был злой призрак огурца, магнитные поля, похожие на огурец. Огуречный прах и тлен. От малейшего касания он рассыпался на атомы.

Но всю партию раскупили за месяц. Зелёный в разрезе фаллос поперёк этикетки знал своё дело. Женщины на него так и пёрли.

Это была отличная работа, директором. Но вдруг у меня родилась Машка. Она оказалась самым лучшим на свете огурцом. И я пошёл в сантехники, чтоб каждый день в пять быть дома.

Сначала сильно не хватало денег. Как-то под утро даже приснился способ вновь разбогатеть. Надо было купить в лабазе свиных почек и продать как свои. А что. Я знаю многих людей, им свиные почки были бы к лицу. Я даже смеялся во сне, радуясь своей находчивости.

Мне удалось устроиться в одну контору, менять канализацию в многоэтажном доме. Мы вешали объявления для верхних жильцов «Просьба не какать, внизу работают люди». Люди – это мы про себя. Но некоторые рассеяные жильцы сначала какают и лишь потом думают, что под ними работают люди. Поэтому мы работали в паре, один держал ведро, второй, очень быстро, делал всё остальное. Зато в пять – дома.

Мой напарник Андрюша сказал, я не умею выбивать из населения деньги. Но это ничего, он меня научит. И вскоре нам попалась бабка, не желающая платить за работу. На словах «двести долларов» она ответила, что у неё шизофрения и вышла из контакта с нашей цивилизацией. И впредь, случайно встретив нас в подъезде вела себя так, будто у неё сразу три шизофрении по всему телу.

Я предложил Андрею составить для бабки пояснение, почему двести баксов. С гистограммами, с фокус-группой, стробоскопом и стохастической функцией. И с любимой моей фразой:

«треть нарисованного огурца рождает больше огуречных эмоций, чем целый живой огурец».

Но Андрей пошёл другим путём. Этажом выше он вставил в канализацию такой тройник, через него можно было орать в трубу, не боясь обляпаться. По его планам, однажды бабка зайдёт в санузел, по делам, а из унитаза голос:

- Отдай деньги, старая дура!

И правда, раз в час ходил, прикладывался к раструбу и орал, орал в него.

Зато теперь я единственный в Прибалтике сантехник, играющий в академическом театре прямо на сцене, прямо с ролью, в целых двух спектаклях. В мае у меня гастроли в Париже и в Бресте. Ещё веду блог в ЖЖ. Умею жарить мясо, на окне выращиваю лук.

Теперь ты расскажи что-нибудь. Желательно, чтоб упоминались твои голые ноги. И это, я очень скучаю.

20

Кот написал в женский сапог. С его стороны это был мужественый и дерзкий поступок.

Видите ли, женщина из этого сапога способна покорить и изувечить Антарктиду, если расстроится. Избы и кони, лишь её завидев, прекращают гореть и скакать. Даже я, известный на районе смельчак и хулиган, нипочём не стал бы писать ей в сапог.

С утра эта опасная женщина накрасилась, одела дублёнку и сунулась ногой в кошачий поступок. И как-то сразу поняла, кризис добрался и до неё. Судя по лицу, ей хотелось оторвать испорченную ногу от бедра по сапог включительно и похоронить как Нагайну, тут же, на мусорной куче (С). Но сначала, конечно, потренироваться на котах и котозаводчиках.

- Я куплю тебе такие же! – успел выкрикнуть я, чем спас много жизней.

Тогда она, вся в макияже и в дублёнке, сняла чулок и стала мыть ногу прямо при свидетелях. О, это было как рассвет на горе Фудзи! Будучи ценителем всего прекрасного, я в мыслях поблагодарил кота за такое волшебное утро.

У неё три плюса. Про первый не скажу, у каждого из нас есть свои эротические слабости, даже у сантехников.

Второй плюс созвучен с песней "Мыла Марусенька белые ноги».

А третий - она держит в моём шкафу запасную обувь.

Уходя, женщина улыбнулась мне и подарила чек от сапог. Послушайте, это оказались сапоги-кабриолет с полным приводом, кожаным салоном, золотым рулём и аудиосистемой Bose, если верить чеку. Я три раза их осмотрел, искал в чём тут правда. Я разлюбил белые ноги по утрам и обозвал кота говном. Я мыл пострадавшее голенище щёткой и кокосовым мылом, мне хотелось сэкономить на новую квартиру. Сушил на батарее, завернув в наволочку. Сапог перестал вонять, но стал похож на останки пегой коровы, погибшей от удара молнии. Его чёрная краска перелезла на мои руки, и, судя по всему, это навсегда. И ещё, он отныне хрустит. А был велюровый, вот только утром.

Теперь у нас с котом есть свои женские сапоги, 39-го размера, один чёрный, другой ржавый. Завтра я посажу в них кота и не знаю, где он найдёт людоеда, но чтобы к обеду у меня были замок, принцесса и ослик. С детства хотел ослика завести, милые они.

21

В двенадцать лет я открыл для себя удивительный мир секса по имени Елена. Ей было тринадцать, скоро четырнадцать. Она знала теорию и хотела проверить на себе. С тех пор на словах «когнитивный диссонанс» я вспоминаю её синие глаза. Она рассказала невероятное. Например, мужская пися так волшебно устроена не только чтобы узоры на снегу рисовать. Я был потрясён.

Три дня я трусливо уклонялся. У меня были другие жизненные ориентиры. Она шептала волнующие истории из жизни Клеопатры. На четвёртый день спросила прямо, друг я ей или как. Так, спасая товарища, я ступил на скользкую тропу интимных отношений.

Телевизор моего детства учил как врать Мюллеру при встрече, и никак не освещал механику грехопадения. А нам приспичило погрязнуть. Камасутру на русский ещё не перевели. И мы не знали эти триста невероятно удобных поз, подарок индийских гимнастов советским пионерам. Поэтому легли на бок, укрылись одеялом и приступили.

Дальше непонятно.

Она закрыла глаза и улыбнулась. Похоже, ей сразу стало нормально. Но мой одноглазый змей ещё не проник в шалаш застенчивых ирисов. Насколько я его знал, он бы не смог без меня найти дорогу. А сам я ничего в Лене не узнавал, наощупь. В те далёкие годы я с трудом разбирался в неосвещённых женщинах. Что под одеялом казалось одним, на свету могло оказаться коленом. Тут она опять сказала что это кайф. Я подумал «ну и ладно». Лена мне нравилась как человек.

Я долго потом ещё верил что цвет, размер и упругость не важны, а важно наше мужское обаяние. С этой верой я оставил большой секс на долгих восемь лет. Потом меня забрали Родину сторожить.

В казарме по ночам проходят познавательные диспуты.

Темы такие:

1. У женщин какой народности самые маленькие штучки.

2. Куда надо нажимать на женщине, если она пытается откусить вам петушка.

3. Как подручными средствами продезинфицировать проститутку эконом-класса.

4. Десять способов склонить к адюльтеру стюардессу, которая замужем за первым пилотом.

5. Как одним взмахом языка заставить её прыгнуть на стену.

6. Ещё другие способы заставить её прыгнуть на стену.

Я так понял, главное в сексе – чтоб она прыгнула. Прыжками женщина даёт понять насколько вы ей симпатичны. Других способов благодарить они не знают. Так гласит военная теория секса. Если стена осталась не запрыганной, это фиаско.

(Вот тогда-то я понял, Лена мне врала!)

И хоть я не спрашивал, мне рассказали пару верных способов.

Пересказываю часть, вдруг кому пригодится.

1. Первый метод, опасный. Возьмите в правую руку нож, в левую своё половое отличие от женщин. (Извините, у меня кончились синонимы). Рассеките самый кончик на четыре дольки и месяц не давайте срастись. В эрегированном виде он станет втрое больше и будет похож на розу. Это и красиво и необычно. И прекрасный повод для знакомства, вы сможете заинтриговать самую нелюбопытную женщину. Но надо знать меру. Сержант Степанов рассказал, один казах разрезал на двенадцать долек, и его несчастье потом не вмещалось в эмалированную кружку. Посмеялись.

2. Вживление в член конского волоса. Поймайте живого коня, нарвите из него волос. Обмотайте свою кеглю. Через месяц волосы приживутся, можно будет их подстричь красиво. Такой лохматый прибор ничем потом не сотрёшь из женской памяти. После встречи с ним женщина сама готовит завтрак, и опять спешит в кровать. Кричит «ещё» и «скорей!» И конечно, вся стена в следах её прыжков.

3. Саня из Воронежа сказал, лучше выточить специальное кольцо на член, продеть леску и будет не хуже. Главное - не потерять кольцо всевластья там, в пещере. А то выйдет как с Горлумом. Саня заверил: женщины от кольца тоже прыгают отлично. Мы обратили внимание, Саня искал лёгких путей. Он избегал страдать за любовь. Его пораженческий подход вызвал у нас

горькую усмешку. Некоторые мужчины невероятно эгоистичны, не готовы жертвовать ничем ради женского счастья. Из-за таких как Саня, женщины думают о нас бог знает что.

4. Лучший способ. Конечно же, это член с ушами. Поймайте мышь, отберите у неё уши и вставьте в прорези на члене. Прорези следует приготовить заблаговременно, отвёрткой. Скальпелем нельзя. От скальпеля уши плохо заживают и могут даже отвалиться в момент наивысшей страсти. Мужики уверяли, мышиные уши не отторгаются. Они не гниют и не портятся. И главное, женщины совершенно бессильны против такой симпатичной мордашки. Даже могут поцеловать, когда разойдутся. И со стен просто не слазят, вы уже догадались. Им очень нравится всё маленькое и бархатистое.

22

Мой кот боится меня потерять. Мы вместе ходим на кухню и обратно, смотрим телевизор. Мыться и писать в одиночку мне тоже запрещено. Он орёт на меня матом из-за двери.

Наверное, я в его глазах - потрясающая личность.

И ещё, этот кот против замены струн на гитаре. Он набегает откуда-то сбоку и хочет их съесть.

И каждый раз мне не хватает рук для обороны: струны, колки, гитара, кот – всё надо держать и крутить одновременно. Для борьбы с животным остаётся русский язык, мощное, но безвредное в целом оружие. Родная речь не разрушает котов и даже не отбрасывает. Они лишь немного приседают, но не сдаются.

Меж тем в раскрытое окно летят мои убедительные крики. И прохожие ошибочно принимают быт музыканта за скандал с убийством.

А вчера проснулся размалёванным. Ляле подарили косметичку. Сама-то Ляля прекрасная, а отец нуждался в доработке. Ляля весь боезапас извела. А я всё не мог проснуться. Мне было даже приятно.

Знаете, бывает так, спишь и думаешь, - вы все там хоть взорвитесь, ни за что не встану. И при этом тебя красят в оранжевый цвет.

Какое-то прекрасное время. Все разъехались. Варим с Лялькой макароны, гуляем в магазин, говорим о жизни птиц. И ничего удивительного, что однажды утром я проснулся счастливый и с оранжевым лицом.

23

У Александра Рубеновича квартира с видом на президентский дворец. А через двор окна Раймонда Паулса. По вечерам видно, как известный композитор ходит по кухне в ситцевых трусах. Александру Рубеновичу повезло с соседями, кругом интересные, приличные люди.

Композитор Паулс однажды делал ремонт. И вынес свои двери на улицу, постоять. Раймонд Вольдемарович думал, никто их не унесет. Ведь кругом приличные, интересные люди.

А Саша увидел двери композитора Паулса и пригласил их к себе. Ночью. И теперь хвастается, какие у него в дому породистые, с отличной родословной двери.

Этот поступок связан с широтой армянской души. Саша почёл за честь поставить себе двери известного человека.

Паулс пишет ноты от руки. После него ноты пахнут одеколоном и табаком. Запах не сильный, но ясно различимый.

И всякие музыкальные тётки их потом нюхают, в своих оркестрах. Этот секрет мне открыла пианистка местного театра. Она вытащила из шкафа ноты, и дала понюхать. И сама понюхала и

сверкнула слезой счастья. Потом не сдержалась, ещё понюха, сказал «О Боже», - и спрятала назад в шкаф.

Паулс вообще очень смешной, любит анекдоты со словом жопа. У него жена русская. Он раньше был лабухом, сильно пил. Под заборами ночевал. Латыши когда пьют, насквозь русские становятся. В лужах спят, матерятся и разговаривают с луной.

И жена его спасла. Она обследовала канавы на предмет содержания в них мужа, таскала на себе эти руины человека. Ловить горящую на скаку избу – мелочь в сравнении с этим. То ли дело алкоголика обратно сделать композитором. Только русские тётки могут.

Вообще, интимные традиции в каждой семье бывают очень необычные.

В Америке в 30-х годах решили исследовать постельную жизнь населения.

Сделали опрос. Кто хотел, мог анонимно написать в каком месте у его Джессики Главная Кнопка и сколько раз в неделю можно её давить.

Пришло очень много писем, потрясающих по драматизму и живости описаний.

Результаты до сих пор засекречены. Известно только, что исследователи перестали верить в бога.

Америка считалась пуританской страной. В наших постелях всё очень благородно, так думали исследователи.

- Дорогая, не изволите ли приподнять правую ногу, а то мне телевизора не видно...

А оказалсь, что оторвать люстру – это у них только прелюдия.

Знакомая девочка с радио рассказывала, как закатилась в мотель с одним спортивным комментатором:

- Представляешь, он надел лифчик себе на голову, прыгал по кровати и кричал «Я Чебурашка!».

И я ей верю.

24

Одна девушка вышла за богатого, а он оказался изменщик. Чтобы не очень грустить, она решила завести дружочка. Для нечастых встреч с высоким содержанием секса.

Сама она стеснялась писать на сайт знакомств, попросила меня.

Я представил себя Леной, которой регулярно изменяет мой Вася.

И написал такое объявление:

«Заведу постельный роман под обещание не отягощать меня цветами и эсэмэсками с цитатами из Бодлера. Мужчина с холодной головой получит тугую попу, малоношеную грудь и другие милые пустячки на срок по договорённости.
Если вам интересно, у меня синие глаза».

Потом подумал и написал более выразительно:

«По семейным обстоятельствам мне нужен секс. Желательно, много. Я миловидная, оборудована попой, грудью, талией. Всё отличного качества. Мне не нужны цветы, подарки и длинные эсэмэс про чувства.
Если вы не пузатый карлик и верите в чудеса, просто напишите мне».

Потом ещё подумал и написал самое точное объявление:

Друзья мои. Мой муж – мудак!
Лена.
Телефон: 800-800-800.

И фото, а как же.

25

Я умею так приготовить свинину, что крокодил не разгрызёт. Не знаю, откуда во мне этот навык. Жарю под крышкой, чтоб не брызгало на остальной быт и чтоб микробы сдохли. Получается высокопрочное блюдо. Но если резать мелко и хорошенько наорать на детей, всё бывает съедено.

Кулинар я честный, но бесперспективный. Из набора любых продуктов всегда получаю одну и ту же ботиночную подошву, на вкус и запах. Иногда только покупаю в гастрономе картофельные блины, замороженные до твёрдости хоккейных шайб. С этими всё иначе. Они прекрасные. Ими можно отбиваться от хулиганов и их невозможно испортить.

Мы с одной девушкой мерялись ужинами. Моя просто черешня против её картошки с боровиками. Я победил в номинации «дольше сможешь носить мини-юбку».

Пожаловался на враждебность ко мне свинины.

Эта девушка без труда отличает спаржу от шпината, она подсказала секрет нежных отбивных. Их следует облепить дольками киви. Держать полчаса. Если дольше, выйдет свиной кисель, нам его не надо. В киви есть что-то такое, растворитель мяса.

На слове «растворитель» вдруг вспомнил историю, как туристы из Латвии варили в Абхазии макароны. Это были не пляжные туристы, а настоящие дураки с рюкзаками. Они приехали в Абхазию лазить по горам. И купили в деревне макароны первого сорта. Модель «яичные». У себя такие же брали, было вкусно.

Латвийские макароны вели себя в кастрюле воспитанно, варились согласно инструкции, потом мылись холодной водой, тихо пищали при этом. Они были очень культурные мучные изделия. На всём белом свете в те времена стоял сплошной СССР и от абхазских макарон никто не ждал другого поведения.

На берегу горной речки туристы развели костёр. Накипятили воду и вбросили две пачки. И через минуту макарон не стало. То есть совсем. Они рассосались. Вот были - а вот опять в котле просто вода.

Тут приходит завхоз группы, турист высшей категории, мастер спорта по приготовлению макарон в невыносимых условиях гор и заполярья. Он может без огня и посуды, без рук, на обратной стороне луны, из камней сготовить лазанью. Он только что вручил повару две пачки, смотрит в котёл, там пусто.

Завхоз сгоряча орёт на повара, как это можно быть таким дебилом, чтоб вместо ужина чудесным способом превратить макароны обратно в воду. И, главное, зачем. И назвал повара проклятым Акопяном.

Завхоз лично, чемпионской рукой налил свежей воды, принёс ещё дров и всыпал две ненадёванных пачки.

И видит, строго по расписанию, через минуту еда растворяется, не оставляя за собой никаких признаков себя. Завхоз снял с огня котёл, осмотрел дно и прозрачный кипяток, очень внимательно, посветил внутрь фонариком. Сказал «хм» и ушёл в горы, один. Вечером его нашли на краю скалы. Он о чём-то спорил с облаком и махал руками.

Туристы из Латвии тогда ловко выкрутились гречневой кашей, которая не растёт в Абхазии, но продаётся. И купили ещё макарон яичных, чтоб дома радовать друзей забавными подарками. Это была первая в СССР еда-прикол.

Сами абхазы тех макароны не ели, только производили. Они знали, при производстве там украдено всё, кроме некого жёлтого клея. Именно его молекулы притворялись макаронами, с трудом держась друг за друга пока сухо.

Теперь таких макарон уже не найти. Их рецепт навсегда утерян, они теперь еда-легенда, как амброзия или ярославские осетры. Знаменитые абхазские макароны.

26

Кого люблю, со всеми разругался. С некоторыми, так даже навек.

Поехал за утешением к Иванову. У Иванова астральный канал. Отвечает на любые вопросы, от расписания автобусов, до исторических и философских, например, «какого хрена».

Спросили у Альфы Центавра, зачем в мире нет гармонии. Особенно, в отношении меня.

- Потому что ты говно! – ответил Иванов галактическим басом.

Этот прекрасный ответ всё объясняет. Значит дело не в высоких богатых брюнетах. В конце концов, они не виноваты, что такими родились. Это даже ужасно, когда тебя любят за лошадиный рост, синие глаза, дом с бассейном и огромный чёрный джип.

- А как же моя душа? – должно быть тоскуют брюнеты, кусая кулак, целиком состоящий из длинных загорелых пальцев. Потом несутся в какое-нибудь Сан-Тропе и хлещут кальвадос, лишь бы не видеть этих алчных голых сисек. Ничуть им не завидую.

На работе выдали нового помошника. Его настоящая фамилия Нитунахин. Как он живёт, не представляю.

Почитали заявки жильцов. Прекрасные.

1. У нас в подвале дерьмо и мухи. Пришлите кого-нибудь, пусть понюхают.

(В разнарядке написано: прийти, высадить тюльпаны, мух переловить и выпустить на волю)

2. Мне всё время течёт на голову. Приходится включать телевизор, чтоб перестало. Но я не хочу постоянно смотреть телевизор. (это одна интересная бабушка, потом расскажу.)

3. У меня из батареи льётся зелёное желе. Я его боюсь.

Ходили смотреть. Всё правда. Радиоактивная на вид субстанция капает на плинтус. Велели хозяйке набрать побольше, для анализов.

(Я знаю эту марсианскую жидкость, но никому не скажу, потому что придётся делать, а лень.)

Вечером усталый Нитунахин рассказал историю. Одна бабка решила покончить с собой. Открыла газ, легла головой в духовку и стала ждать Тоннеля. Ждёт, ждёт, никаких улучшений в судьбе не происходит.

И решила ещё покурить, на дорожку. Подожгла сигарету и сразу вылетела в окно, жопой вперёд, по пути высадив раму. Упала на козырёк подъезда, лежит такая, курит. Ни царапины.

Ничего, подытожил Нитунахин, живёт теперь, как-то всё наладилось.

Он вообще молодец, этот Нитунахин, умеет поддержать разговор

27

Ляля знает сто один способ выдавить из отца подарок. Лошадку или матрёшку, в крайнем случае мороженое, потому что отец жмот. Сто один способ,не считая таких проверенных, как раскаленные щипцы и удар сандаликом в голень. Поэтому вчера я пообещал ей сиськи.

Ляля говорит продавщице:

- Я папе скажу, он мне такие же купит, огромные.

И показала руками пару дирижаблей. Ляле намекнули, приличные девочки так не говорят. Даже если оно выглядит как вымя кашалота, всё равно надо вежливо, «товарищ грудь».

Но Ляля чувствует язык. После третьего размера красота плевать хотела на мораль. Поэтому мы купим сиськи, а вы как хотите.

Ещё у Ляли есть друг, Эрик. Он ухаживает за женщинами как мужчина-идиот. Подарил самосвал и стукнул мячом. Самосвал мы вернули. За мяч наорали на руководство сада. Велели передать наше мнение папе жениха.

Наутро Эрик пришёл накрахмаленый, в галстуке. Шевелил губами, повторял текст. Ляля рассказывает:

- Эрик сказал: «Я тебя обожаю». Ну дала ему лопатой по губам, чтоб не говорил гадости.

Вот так, в пять лет парень узнал почти всё про любовь.

И вся в мать. У Люси тоже характер гадкий. На экзамене в ГАИ инструктор бросил в Люсю права и ушёл. Понимете, свои права бросил.

Я вот думаю, может купить Люсе новые сиськи и помириться? А то разводимся, на кого я орать буду?

28

Мы играли на похоронах и свадьбах. Гитарист был алкоголиком. Басист курил запрещённые растения. Я увлекался грустными женщинами, а это хуже, чем пить и курить. Самой непорочной была вокалистка, единственная в мире латышка-негр Моника. Дочь олимпийского негодяя из Кении. Единственным, невольным её грехом был зад-искуситель. Сильно оттопыренный, в форме сердца, невероятной красоты. Он ломал судьбы и калечил психику. Мало что чёрный, он танцевал отдельно от хозяйки. Из-за него басист не спал ночей, раз в месяц предлагал Монике создать семью, хотя бы на вечер. Моника фыркала, уходила сама и всю красоту уносила с собой.

Монике были нужны деньги, её выселяли из квартиры. Ради неё, нашего черножопого друга (ласк.), мы согласились играть на окраине, в рабочем районе, где семечки дороже кислорода и круглые сутки кому-то бьют морду. А что, подумалось нам, хулиганы тоже люди. И многое из прекрасного им не чуждо, может быть, даже мы.

Один мой приятель играет рок-н-ролл. Так у них вокалист - чемпион области по рукопашному бою. Поэтому они выступают даже в сельских клубах для злых механизаторов. Им всегда платят и они ни разу не пели Вальс-бостон.

Хоть Моника при нас ни разу не убивала львов дубиной и не отрывала хоботы слонам, мы решили тоже съездить. Играли за выручку с билетов. Народу пришло, прямо скажем, мало. Два человека. Лысые, с цепями, с крестами, крестоносцы. Расселись в центре зала. Элегантные как рояли.

Мы пересчитали выручку, выходило два доллара на всех. Басист сказал, сдаваться нельзя. Дурная примета. Опять же, Монике нужны деньги.

И грянул бал.

Расстроенная неявкой публики, обильно утешаемая гитаристом, Моника вдруг напилась. Ко второму отделению она не просто забыла слова. Она перестала узнавать песни. Мы играли вступление три раза, сами пели куплет. Она смотрела, говорила – «чёрт, какая знакомая мелодия». И опять впадала в анабиоз. Лишь танцующий зад в форме чёрного сердца выдавал в ней профессионала и артистку.

Зрители почему-то смотрели на контрабас. Очень внимательно. Не подпевали, не хлопали. А Игорь, басист, вдруг встал боком, наклонился и так играл. Потом сказал:

– Боже! Какая длинная, длинная, длинная песня!

И посмотрел на нас зрачками, взятыми напрокат у филина.

Люди с крестами оказались торговцами шмалью. В антракте они узнали в Игоре инкарнацию Боба Марли и предложили пыхнуть. И подсунули какой-то адский отвар, почти ракетное топливо. И всё третье отделение ждали, когда же Гоша рухнет в клумбу с цветами и будет смешно. А он не падал. Наш Игорёк стоял, как не знаю что, как сукин сын. Несколько боком, но стоял.

Мы кое-как доиграли боком и дотанцевали задом отделение. Посетители, оба, подошли к Игорю, пожали руку, сказали, что он зверь. Он первый, кто смог, кто не упал в салат. Да ещё контрабас в руках, и играл, не сбивался. Зверь. (А всё было наоборот, он повис на контрабасе и поэтому победил)

И вот эти двое достают лопатник и отсчитывают 500 (пятьсот!!!) баксов. Настоящих, с президентами посередине. По нашим тогда представлениям, примерно столько же стоил самолёт. И ещё, они предложили отвезти нас на Мерседесе.

Контрабас не влез в багажник, гриф торчал, пришлось ехать по встречной. Это был самый продолжительный таран со времён покорения человеком Мерседеса. Я до сих пор горжусь участием и что не изгадил подгузник. Пролёт протекал на низкой высоте сорок минут без пауз. Крестоносцы сидели впереди, лушпали семки. Мы сзади старались не открывать глаз, обнимались на прощанье и говорили что передать родным, если кто случайно выживет.

Всю дорогу Моника сидела у Игоря на коленях. Вот прямо попой. Но ни она, ни он этого не помнят. Поэтому принято считать, между ними так ничего и не было.

29

Ездил в Таллин. В приграничной Салацгриве автовокзал, и в туалете сломана защёлка. Всё время вбегают хмурые люди, обиженно сопят в затылок. Будто не ожидали встретить меня здесь и в такой позе. Потом выразительно хлопают дверью. Там всего один унитаз. Зато норвежский. А селян по автовокзалу бродит множество. Чувствуете, драматизм провинциальной жизни?

Я решил всё в себе поменять. Ухожу из секса к хомячкам и кактусам. Буду любить простые вещи: море, небо, путешествия. Например, если долго, долго ехать в Таллин, потом долго писать на автовокзале, жизнь кажется чудной. И даже когда вбегают селяне, я люблю их угрюмое сопение в спину! Мир многолик и прекрасен.

Меня оштрафовали пограничники. Примерно в середине Эстонии стоит куст, в нём сидят войска с биноклем. Ловят машины с инопланетными номерами. Многие латыши думают, по Эстонии можно ездить без паспорта. Фигушки, штраф 6 000 крон.

Торгуются эстонцы почти молча.

- Шесть тысяч крон.

- Чёта дорого.

- Три тысячи крон.

- Я всего на день.

- Тысяча двести крон.

- Можно на месте?

- Шестьсот крон.

- С собой вот, есть четыреста.

- Хорошо, 300 крон.

И пишут протокол.

В Таллине ветрено. Красивые девчонки разливают туристам глинтвейн. Очень красивые, очень. Хорошо, что я охладел к женщинам. А то б они меня споили.

После концерта собрались на даче одного барда, против его воли. Только свои. Человек семьсот.

Сначала было вежливо - «передайте, пожалуйста, соль», «возьмите мою куртку, согреетесь».

К ночи праздник вырос вширь и вглубь. Меня кто-то целовал в лысину и обещал утопить в болоте, если завтра же не женюсь на незнакомой женщине Зинаиде. Все песни стали цыганскими, даже Визбор.

Рассказывали истории из жизни людей искусства.

Примерно такие.

«В восемьдесят третьем году звонит один, говорит: Витя, мы приедем? Я так понял, с женой. - Конечно, приезжай! Через месяц опять звонит: – Витя, мы приехали!

Прихожу на вокзал, семьдесят пять человек. Клуб песни имени Мао Дзедуна. Хорошо, у Вадика квартира большая, уложили всех на полу. Но ходить уже негде.

Вадик с вечера влюбился в какую-то толстую бабу. Потом выспрашивал, где спит такая, красивая. И показывал на себе огромную грудь. На полу семьдесят пять мешков, в каждом толстое и красивое, чёрт его знает.

Сказали – посмотри на кухне. У батареи, второй кулёк слева. А там отдыхал завхоз, Юрий. Вадик вполз к завхозу, оба крупные мальчики, причём. И волосатая грудь не насторожила, а даже раззадорила. Вадик полез влюблёнными руками ниже и нашёл там, прямо скажем, новость для себя. И аж выбежал из мешка. От потрясения не пил потом два года. Только чай и молоко. А завхоз Юрий поутру интимно опрашивал друзей, которым мог довериться, какая сука сняла с него трусы. И зачем. Волновался, но вспомнить ничего не мог...»

Пошли истории про сон в палатках, выходило так, неощупанных бардов в Эстонии не осталось.

Вечер становился шумным. Рассыпались сосиски, их переловили и съели. Слева обсуждали Лену, она стерва, справа желали американцам вечного поноса. Куст сирени за спиной трясся и хихикал женским голосом.

В середине разгуляя я поднял голову и увидел ангела. Девушка-казашка. Прекрасная. Она была как небо и море вместе взятые. Даже лучше. Смотреть хотелось бесконечно. Я не помню, как она пришла. И пропустил момент, когда она вознеслась. Но мы вместе пели про оленя, это близость, как-никак.

Ночью не пошёл её искать, чтобы не вышло как с Вадиком. А уже утром нигде её не было. Всё-таки я болван неисправимый.

Однажды баба Галя крикнула вслед военному самолёту «шоп ты развалився». И пошла копать картошку. Через три минуты с неба прилетела дымная хреновина и взорвала хату. У кого-то там руки-крылья полетели дальше, а пламенный мотор отвалился. Так баба Галя стала участницей холодной войны. Остаток дня она провела на грядке, удивляясь, до чего ж неудачные бывают дни. И ещё - насколько сбываются мечты. И ещё ругала Брежнева за непрочные бомбардировщики.

У военных где-то рядом было гнездо. Они проходили звуковой барьер и все в деревне подпрыгивали, даже куры. Часть образованных трактористов утверждала, барьер расположен за Гомелем. Но когда на Галю упала запчасть, стало ясно, гадят прямо над деревней.

Вечером понаехали войска, просеяли огород через сито. Забрали всё железное, даже молочный бидончик. Вдруг он тоже секретные руины авиации. Попутно выкопали картошку. Баба не ощутила радости, какая бывает у крестьян при сборе урожая. Я же говорю, настроение было ужасное.

Утром приехали другие солдаты, построили новую хату. Этот случай позже описан в литературе. Только в литературе всё свалили на бабкину привычку курить в постели, для секретности. Потом, дескать, ехали абстрактные танкисты и из всех видов помощи выбрали «хата под ключ». Потому что советские войска – самые милые в мире.

Когда Люся сказала, что в её сердце живёт один заезжий музыкант, я почувствовал себя хатой, на которую упало небо. И весь день потом сидел на грядке, настроение было так себе. Руки-крылья не махали, ноги-ласты обвисли. Что характерно, назавтра никто не приехал и не построил новую Люсю. И целый год потом я целовал встречных лягушек, всё хотелось чего-то необычного.

А теперь, знаете ли, даже нормально. Даже лучше чем было. Деньги завелись, на гастроли зовут. По субботам сплю до обеда. Машке фен купил, на нём летать можно. Сказали, чем мощней, тем лучше. Хорошо там авиатурбины не продаются, я ужасный максималист иногда.

Перепробовал на себе все феновы насадки, никакой разницы. Мне надо что-то для матового блеска лысины. Кот убежал от фена под кровать, а хомяк маленький ещё сушиться. С нашей мощью чуть не так повернул и готов друг детства, подсолить и можно подавать.

Или вот, у Ляльки утренник, а я забыл. Утром говорят, здравствуйте, можете сразу одевать белые носочки и блузку. Красную юбку выдали. Ляля в спектакле играет вишню, при слове «огород» сразу читает текст:

Утром вишенка проснулась,
Веточка её качнулась.
Прилетел пчелиный рой,
Начал день свой трудовой.

И вот, мне звонят с работы, плачут, их всех сейчас смоет в залив, если не спасу. А я бегаю по магазину, там есть белые носочки с бантиками, а есть с помпонами, не могу выбрать. То есть правда хорошо. Не новая хата, конечно, но точно не руины.

В среду подписывали бумаги о разводе.

- Всё в порядке? - спросила Люся как бы даже с соучастием.

«Желаю тебе выйти за повара, растолстеть и чтоб в последний путь тебя вытаскивали краном через окно», - подумал я, но вслух только улыбнулся.

P.S. Носки выбрал, конечно же, с помпонами.

Девичье сердце вмещает бессчётное число котов. Каждый кот как в первый раз. Маша познакомилась с одним, в Макдональдсе. Ужасно влюбчивая. Отдала котлету из моего чизбургера. Я за салфетками ходил. Вернулся, а он уже бреется моей бритвой (с).

Невозможно ругать женщину за чувства. Тем более, Маша рассказала пронзительные подробности из кошачьей жизни. Суть такая, они милые и доверчивые, а люди пользуются.

Пока мы обедали, ещё пять воскресных отцов, как могли, полюбили салатик. Их котлеты пошли на доброе дело. Окружающие девочки отдавали также картошку и напитки, но кот соглашался только мясо. Чёртов каннибал. Потом он ушёл за куст, там громко и мучительно тошнил. Всё-таки Макдональдс котам вреден.

Мой домашний аналог, кот Чемодан, больше всех любит хомяка. Глаза проплакал смотреть, как хомяк моется, жрёт сено, какает и роет лаз на волю. Кот мечтает хотя бы поцеловать эти ушки и глазки. Но с хомяком его фатально разделяют мои предрассудки.

Кот догадался столкнуть клетку с подоконника, клетка рассыпалась, хомяк выпал. Кот взлетел, разинул радостную пасть, но навстречу тоже взлетел я, толстой молнии подобный. Короче, мы подрались. И долго пахли потом хомячьими опилками. Прибежала Маша, не знает, кого жалеть. Сгоряча съела две булочки с маком, потом смотрела в зеркало на попу, тревожно. Весь вечер на нервах.

Маша любит кота, кот хомяка, хомяк не любит никого. Только себя и семечки. Это треугольная драма, основа литературы и жизни вообще. Когда двоим хорошо, третий обязательно убывает и мучается.

Вот смотрите:

Напряжение – сопротивление – сила тока.

Женя – Надя – Ипполит Матвеевич.

Масса – время – скорость света.

Бог-отец – сын – дух святой.

Температура – давление – объём.

Ум – красота – женское счастье.

Девушка – кот – прочие млекопитающие самцы.

Одна моя знакомая пять часов визжала на табурете. К ней пришла мышь и гуляла по кухне как по гастроному. Мыши хотелось на ужин чего-то необычного.

Женщина боролась с грызуном противным голосом. Мышь морщилась, но терпела. На шум заглядывал кот, но чисто посмотреть. Он был пацифист, в его душе росли тюльпаны.

Потом пришёл муж и спас всех шваброй. Бросил, промахнулся, и уже по звону посуды мышь поняла, больше здесь ей не рады. Пора.

Конечно, виноват муж. Ему показали щели за плинтусом: «эти огромные дыры, скоро в них динозавры поползут, не смей орать на кота, он не виноват что в доме нет мужчины, это ты моральный импотент, он не любит мышей, сам её ешь, может ему и раковину за тебя чинить?»

Ладно, коты. Вот в Амазонке живёт розовый дельфин боуто. Это вообще. Местные говорят, по ночам он выходит на сушу, и женщины не могут сопротивляться. Идут за ним в воду, такой он волшебный. Я себе представил боуту – мега-усы, хвост, улыбка и экстра тёплый пузик тройной волосатости. За таким на край джунглей. А на фото в интернете обычная свинья с клювом. Непонятно.

Скорей всего, какая-то женская хитрость – «дорогой, прости, бежала домой, повстречала боуту, к утру насилу вырвалась, ты же знаешь, мы не в силах сопротивляться.»

И ходи потом, ищи способ настучать в клюв розовому дельфину.

32

Однажды мой папенька встретил на улице футбольную команду и уважать себя принудил.

За забором паровозного депо мужики гоняли мяч. Машинисты против кочегаров. Папенька и в трезвом виде был сильно неравнодушный человек. А выпимши становился липуч, как свидетель Иеговы.

Вбежал на поле, стал преподавать дриблинг, насильно. Присутствующие захотели умереть неучёными. Тогда папан назвал им "козлы", "рванина" и "женская сборная по бадминтону". Футболисты ответили нестройным матом.

Главным достоинством папеньки были находчивость и смелость.

По его прикидкам, в одиночку навалять небольшой футбольной команде не сложно, если точно всё рассчитать.

Он вышел к воротам и врезал вратарю ботинком по ноге. Для затравки. За папой стали гоняться, конечно.

Всё шло по плану. Он бегал кругами, самых резвых догоняльщиков разил кулаком с развороту на встречном курсе. Минуты три папа был как Иван Кожедуб, а футболисты как фашисты на мессершмидтах.

Враг нёс потери. Искусно маневрируя, папа сбил четверых, одного ранил в бензобак.

Если бы всё получилось, когда-нибудь про этот подвиг сняли бы фильм с названием - "1 спартанец".

Но железнодорожники попались хитрые, догадались, что небольшой командой можно навалять даже Кожедубу, если хором.

Перестроились в греческую фалангу (конница по бокам) и, после некоторых маневров стали теснить папеньку бутсами по попе и выше.

Тятя бросился из окружения в сирень и там залёг. Он решил переждать.

- Ногой в кустах не размахнуться, а руками они драться не умеют - гордился он, показывая потом спину. Спина была похожа на огромный баклажан.

На следующий день, на встрече в милиции, футболисты казались сборной по панкратиону - у кого глаз заплыл куриной попочкой, у кого скула примотана скотчем.

Пятнадцать суток папе не дали, потому что приговор "за драку с футбольной командой паровозного депо" показался лейтенанту неумеренно льстивым.

После батальи, говорят, папенька форсил перед друзями: приходил к стадиону, запрыгивал на забор и орал "Э-ге-гей!"

Всем нравилось смотреть, как кочегары бросают беготню, послушно перестраиваются - конница на фланги - и смотрят на забор грустными персидскими глазами.

А если вы не верите этой правдивой истории, значит вы не знакомы с моим папенькой.

33

Когда чей-нибудь последний путь надо расцветить Шопеном, в военном оркестре говорят «Играть жмура».

В окружном оркестре служат в основном сверхсрочники. Призывников в окружной оркестр берут только на всякие позорные инструменты – тарелки и большой барабан с колотушкой. Барабанщика, причём, выбирают маленького, так смешней. Таковы требования военного юмора.

В нашем оркестре был ещё третий срочник, играл на секунде – здоровенная труба, надевается на человека сверху. Её партию в печатном виде не пересказать – это «пук-пук» сиплым баритоном.

Был май. Птицы исполняли Бетховена, трепетные вербы тянули к солнцу зелёные ладошки, и не выпить перед выступлением за такую даль и синь было нельзя. Кто-то выкатил красный вермут, привычный яд. И музыканты были опытные – но почему-то все полегли. Как дети, ей-богу. Даже самогон на стиральном порошке не давал такого эффекта.

Начало церемонии отстояли шалашиком. А как колонна поехала, стали падать. Путь за катафалком блистал отдельно лежащими трубами, фаготами и телами горестных оркестрантов.

Дольше прочих держался кларнет. Падая, он попал своей дудкой в карман барабанщику, и так доехал почти до нужной могилы. Рухнул в ста метрах каких-то.

Трубач потом вспоминал, что остановился продуть мундштук, тут на него прыгнуло дерево и заслонило белый свет.

Сильной личностью оказался валторнист. Он маршировал со всеми по дороге, и вдруг обнаружил себя посреди природы, в каких-то праздничных кустах. Где-то за ветвями отдувались и падали друзья, а тут сгрудились трепетные вербы и ещё птицы, со своим Бетховеном. Пробиться к товарищам было нереально. Валторнист лёг в укрытие и стал исполнять военный долг лёжа.

- Как красиво играет в лесу валторна – сказал чуткий к прекрасному барабанщик.

Звук военного оркестра, поначалу сочный и породистый, мутировал в еврейскую свадьбу. Солировала ритм-секция. Поскольку срочникам не наливали, до кладбища доползли только трезвые тарелки, барабан и секунда, которая «пук-пук».

После всех слов, после прощального салюта им предстояло с помощью тарелок и барабана изобразить гимн. И ещё этим, пук-пуком.

Тысяча офицеров в праздничном убранстве взяли под козырёк, командующий сделал патриотическое лицо, остальные зажмурились.

- Бдых! – сказал барабан.

- Апчхи! – удивились тарелки.

- Пук-пук – застеснялась секунда.

Потом ещё играли торжественный марш, что после гимна совсем не страшно оказалось.

34

Однажды усядусь писать. Стану вскидывать над компьютером руки, как какой-нибудь Прокофьев. Буду молотить по буквам много и вдохновенно.

И конечно же, разбогатею.

Напишу, как к нам в кватиру пришли блохи, много. Глазам их не видно, но по ощущениям – несколькодивизий.

Расскажу про длинную линейку для чесаний - мы передаем её из рук в руки и очень любим.

Напишу про Лялин атеизм, Ляля не верит в невидимое, в блох тоже. Про укусы говорит, это Владислав покусал, вражеский ребёнок в саду, Владислав там всех кусает.

И добавляет сентенциозно:

- Владислав - свинья!

Ляля считает, меня покусал тоже Владислав. И Люсю.

Мне-то что, я привычный, а Люсю ревную.

Никому не прощу укусы в Люсины в те места, чьих названий не скажу, но которые мне очень дороги.

Поймаю Владислава - оторву хоботок.

Люся копит на Египет, живёт на трёх своих работах, я чувствую себя акулой большого секса на планктонной диете.

Устроился играть в театре. Много репетирую.

Два раза выхожу там на балкон с гитарой, (это самое вдохновенное место в спектакле).

Во втором отделении кричу с толпой "ого-го". Просили не перекрикивать толпу.

Хотел влюбиться в молодую актрису из Петрозаводска, но было жарко, плюнул.

Дурная какая-то жара. Как в Вавилоне за день до финала.

35

Вот что я вам скажу, дорогие мои неосторожные читатели, необдуманно раскрывшие эту книжку. Далеко-далеко от вас, в краю, где комары ростом с воролну, где названия деревень всегда из двух слов и второе слово – «болото», где ландыш пахнет сероводородом, а лягушки пожрали соловьев, там мы с Эдиком строим пятизвёздочный отель. Для гипотетических саксонских пенсионеров, которым мло баскервильских и подавай ещё курляндских трясин.

Деревня называется «Монастырское болото». Это если ехать от «Снего болота», поворачиваете на «Ведьмино болото», не доезжая «Кошачьго болота», справа грустим мы и наш отель.

Цивилизация в деревне представлена ларьком, в нём много пива и три продавщицы.

Одна миленькая, другие две – как из рекламы стирального порошка, с безумием в глазах – зачем вы льёте на меня кетчуп-вино-варенье-гуталин?!

Население города – триста одноногих алкоголиков из санатория для одноногих алкоголиков.

Живёт ещё двуногая девушка, очень красивая, одна на весь город. Ноги, кстати, очень удачные. Даже если их поставить рядом, а не как обычно, левую прятать за правую – всё равно удачные.

То есть она может себе позволить не подгибать, не выставлять вперёд, носок не выворачивать за угол – вы и сами знаете триста способов придать ногам форму, как у Милы Йовович. Согласитесь, редкой красоты девушка.

И вот, пятки вместе, носки врозь, каждое утро она стоит на остановке под берёзой, и мы когда-нибудь обязательно притормозим спросить, не для нас ли так печальны её глаза и так беззащитны эти наивные колени.

Видите, товарищи, у меня проблемы со смыслом. Он ускользает. Я хотел рассказать, как нам с Эдиком, мирным сантехникам, нечего жрать, а сам срываюсь на истории про женские ноги.

Так вот, про еду.

Мы весь ларёк уже перепробовали.

Первую неделю лопали лапшу, надоело. Восемь дней грызли курицу-гриль. Потом в районе иссякли куры, остались колбаса-кефир, затем пирожки. Если разломить, вырвется запах мяса и улетит в небо, останется просто тесто.

Потом мы познали паштет. В ларьке есть два вида. Эдик предпочитает коричневый, со вкусными Е250, Е314 и Е320. И эмульгатора чтоб побольше.

А я беру серый, с Е357, он кислинку придаёт. И с бензоатом натрия, чтоб нажористей.

Кроме того, на моём написано «содержание говяжьей печени достигает 31%, а на Эдиковом паштете мясо вовсе не упомянуто, значит, он из пищевого картона, а я от такого икаю.

Вам не приходило в голову, что силу изжоги следует измерять в килотоннах, как атомные бомбы? У меня сейчас примерно 300 кт, а я всё равно про ноги думаю. Потому что тягу к прекрасному во мне никакими атомными пирожками не перешибить.

36

В октябре я особенно понимаю, зачем женщины моются. Во-первых, это тепло. Мероприятие пахнет шампунем и красиво освещено. Ничем не занят, при этом как бы занят. И без ограничений можно смотреть на голых женщин в ванной. На них всегда приятно смотреть, даже если они - это ты сам. В смысле, сама. И всё это лёжа, а не бегом по лестнице с роялем на спине.

Женщин много, ванных мало, поэтому у нас постоянно дежурит очередь нуждающихся мужчин. Особенно в октябре. За окном листопад, тряпьё белеет неглаженой Джомолунгмой, уроки разбросаны по кухне и повсюду скачут спортивные отцы и коты. Октябрь.

А недавно кот обучился лапой открывать ворота. Ренегат. Ему страшно, видите ли, стало за мочевой пузырёк. С тех пор я скачу соло. Я тоже люблю свой пузырёк и к 39-ти неплохо навострился открывать лапой многое. Даже лучше всех котов на свете. А эта дверь недавно была вовсе сломана, только я один умел ей управлять. На остальных она падала.

О! Совсем недавно она была общительной, юмористической дверью прекрасной дальнобойности. От неё было не скрыться. Она бесшумно набирала скорость и обрушивала всю свою иронию на посетителя. Лежачий в ванной человек мог ещё ловко нырнуть, а с унитаза бежать было некуда.

Починить её меня принудили женские сепаратисты. Ведь кто контролирует дверь в туалет, тот в семье и Уго Чавес. И они меня свергли. Теперь там исправная дверь без изюминки. И горькая несправедливость: если её отворяет кот, он умница и плюша. А если я, то выйди немедленно, наглец и как не стыдно.

Но в среду кот поплатился. Въезжает он в ванну, как себе в гараж, там Маша моется. И стал на примере девочки изучать технику заныров. Прежде Маша служила в ванной Мобидиком, а от кота в ней проснулся Ктулху. Из воды словно опасные деревья выросли руки, хвать кота и на дно волокут.

Кот пальцами вцепился в край ванны, стал кричать что коты не потеют и лично он, кот Чемодан, совсем ещё новый и мыться не желает даже за сто рублей. Он орал страшным голосом, как умеют только ночные дети и молодые паровозы.

Маша женщина неопытная, доверилась, щупальцы разжала.

Всё что у кота заднее поясницы – вымокло, конечно. Но руки и грудь уцелели. А так же усы, глаза и, что важно, мозг остался сухой. С точки зрения красоты получилось спорно: спереди, пушистый, лохматый как царь, а всё что заднее ватерлинии – чисто облиззяна. И стал он ходить и капать по всему дому. И за каких-то три секунды сумел поприсутствовать везде, как элементарная частица или Бох.

А у нас в семье правило: если вы ненароком упали в ванную и какая-нибудь ваша половина вымокла – ходите где угодно, но не садитесь на ноутбуки. В связи с чем возмущает фраза «смотри какой котик смешной, мокрой попой сидит на твоей клавиатуре». Нельзя так широко понимать

термин «смешной». Гораздо более точным было бы «серо-полосатый наверное самоубийца, не знающий как опасен в гневе Уго Чавес, повелитель сломаных дверей.»

37

Даже если тёща отличный парень, всё равно она злодей.

Это закон природы. Так же неизбежно жи-ши пишется через «И» и маслом вниз падают бутерброды.

От тёщи народилась эта сколопендра, что ходит теперь по моей квартире с нагими ногами и не позволяет трогать их руками

Вот ещё о ногах. В романах про любовь никогда чесание спины не считалось прелюдией. В литературе улыбнёшься загорело и сразу наступает секс. Неземная Любовь сама находчиво снимает с себя трусы.

А в жизни ты полночи чешешь спинку, точишь ногти о тощий её хребет, потом она вдруг засыпает, и ты до утра смотришь телевизор нечеловечески печальными глазами. Можно, конечно, укусить её нагую ногу, но это будет неполноценный секс.

Маша спросила, кем мне приходится маминой мамы мать. Я вдруг вспомнил, что перед тёщей была ещё сколопендра в кубе. Сказал Маше, что никем, что мы чужие, что скорей жи-ши упадут маслом вверх, чем я родня ей.

Маша ответила спокойно:

- Раз мне она прабабушка, тебе она ПРА-тёща.

Сразу сделалось понятно. Это архетип вселенской вредности. Праотцы учат загорелым улыбкам и лампочки крутить, праматери всегда денег одолжат, а пратёщи летают в ночи на перепончатых крыльях, заглядывают в окно, пугают ночных посетителей холодильника. Если в три утра увидишь на дереве пратёщу, или двух, борщ скиснет, лето кончится в июне, новый провайдер окажется выдающимся козлом. Так что закрывайте глазки, поворачивайтесь на бок и спокойной вам ночи.

38

Проспали.

Собирались яростно.

По дороге в сад:

- Мама, а почему лошадь – сраная?

- Кто тебе сказал?

- Ну, папа. Он сказал: «отложи эту сраную лошадь и немедленно одевайся!»

Как отец, я отец очень темпераментный, иногда.

39

Люся поехала в Венецию. С собой взяла колбасу, трусы и штопор.

На месте Венеции я бы обиделся. Когда ты город на Средиземном море, по тебе плавают, извините за выражение, гондольеры, ты весь в каналах, карнавалах и Бродский в тебе похоронен, а кто-то приезжает в тебя с набором для пьянки в кустах, это свинство. Так считаем мы с Венецией.

Вчера Люся прислала письмо. Пишет, что всё отлично.

Кто б сомневался. Когда всё с собой и не надо выпрашивать колбасу, трусы и штопор, любая Сан-Марко дом родной. За каждым изгибом канала тепло, пенёк и заросли черёмухи.

А сегодня она в городе Пизе. Собирается лезть на башню.

Никто не знает, кстати, как будет по-пизански «упасть с башни»? Хочу послать Люсе эсэмэс-предостережение.

40

Смотрел передачу про суд. Плакал от торжества справедивости. Там один мальчик мерзко себя вёл с детства, курил табак, плевал где люди ходят, пел матерные песни. А учился так плохо, что после школы всем серебряные, золотые, а ему пластилиновую медаль дали, с надписью «чтоб ты сдох, проклятый двоечник».

Мальчик добывал гормоны роста из окорочков, распух что твой диплодок, стал асоциальным элементом. Поставил под окно БМВ и поехал в Египет загорать. Так делают все асоциальные элементы. Поэтому египтяне нас боятся и никогда не нападут. Они думают, тут вся страна такая, хари не влазят в фотоаппарат, сплошь асоциальные, под окном БМВ, с пластилиновыми медалями за образование.

Пока мальчик внушал уважение к России, его авто не скучало. Анонимный Робин Гуд разбил люк монтировкой и влил в салон полтора куба прекрасного бетона. За всё. За непереведённых через дорогу старушек, за сожранный в шестом классе дневник с двойками и за вой полуночных сигнализаций, за их неумение отличить кошку от угонщика. Накопилось у кого-то.

Бетон с машиной слились в единое, вышла очень крепкая конструкция, хотя и непригодная для поездки с женщинами на пикник. Гастарбайтерам пришлось неделю махать перфораторами, чтоб пробиться хотя бы к замку зажигания. Диплодок ходил по Родине загорелый и расстроенный. Он не был совсем бесчувственным, в его сердце жила любовь к технике. Движимый этим чувством, он живо нашёл водилу именно той бетономешалки, что развозила бетон для нужд мстителей микрорайона. Друзья двоечника дали почувствовать себя бубном. Постучали в него, постучали, потом в суд привели. Стали объяснять про частную собственность.

И тут бетономешалкин адвокат, красивая тётка, прожаренная солярием до хрустящей корочки, достала из сумочки старушку-соседку. Старушкина жизнь состояла из фонедоскопа, тетрадки и массы свободного времени. Пенсионерка прослушивала соседей, её протоколов хватило бы на тысячу лет тюрьмы всем двоечникам столицы.

Прокурор, конечно, выступил против подслушивающих старушек, но там все были живые люди, всем было интересно.

- Валяй! – сказал народ старушке.

Так вот, у диплодока оказалась невеста и ещё любовница, а у любовницы ещё любовник, он-то и устроил акцию, водитель бетономешалки пописать отошёл. Вроде бы он. Судья сказала, её это не касается. Главное – шофёр не виноват.

Приговор такой:

Шофёру впредь писать, не выходя из кабины.

Бабушке велели больше не подслушивать и подмигнули двусмысленно, мол давай, так дальше и поступай.

Полюбовнику пожелали богатырского здоровья и крепости в области бубна.

Только диплодоку судья ничего не сказала, просто посмотрела, как обычно бетономешалки смотрят на БМВ.

Очень хорошая передача. В ней правое дело торжествует над капитализмом в лице БМВ. В ней человек главней механических монстров. Особенно спящий человек. А к той сволочи, что всю ночь у меня под окнами бибикала и сверкала праздничными огнями, я нынче приеду на бетономешалке. Спрошу, чего ей не спится.

41

Дети рисуют мать по памяти. Согласно чертежам, их родил аквалангист, гуляющий по картофельному полю в миниюбке.

По вечерам ходим в дальний магазин, чего-нибудь разрушить. Кругами, чтоб нас потом не выследили.

Однажды в винном отделе Ляля раскинула руки и полетела. Совсем как Катерина из Грозы. И крылом задела бутылку. Пока бутылка падала, пред внутренним моим взором пронеслась и попрощалась вся моя ненаглядная зарплата за последний год.

Как отец и гражданин я потребовал дождаться и понести наказание. Мы взялись за руки, но никто к нам не шёл. Долго ждали, секунды три. Тогда мы раскинули руки и скорей отсюда полетели – мимо конфетных, молочных и мыльных рядов, вдаль, через железную дорогу, домой.

В другой раз нам встретился манекен мужчины на роликах. Маша запрыгнула на него. То не был акт любви. Манекен был похож на дерево с колёсами и его нельзя было пропустить. В общем, Маша верхом на манекене выкатились из магазина в фойе.

Благодаря этому случаю, я видел самую удивлённую в стране кассиршу.

Ну и самое остросюжетное – угон инвалидной коляски вместе с содержимым. Днём, из отдела туалетной бумаги. Тоже Маша. Инвалид приехал со своей женщиной-штурманом, но она была какая-то несобранная. А если ты нормальный человек, тебе конечно же хочется прокатиться. Коляска-то отличная. И вот выждав, когда штурман отвернётся почитать пачку сахара, Маша подарила инвалиду ощущение жизни методом разгона коляски до скорости звука. Пассажир сначала удивился. Потом по рёву воздуха в ушах, заподозрил неладное. И лишь в молочном отделе понял, что кто-то злой его украл, чтобы убить о витрину со сметаной. Тут Маша смело поставила коляску на одно колесо и свернула в рыбный отдел, где экипаж поймали посетители, растревоженные плачем неблагодарного калеки.

Не знаю как у вас, а в нашей стране такое поведение называется «беззаботное детство».

42

У синьора Мальдини глаза пожилого бассета. И в перстнях золота больше, чем во всём бюджете какой-нибудь Молдавии. Возле его кровати, наверное, ведро стоит. Синьор Мальдини туда ссыпает украшения на ночь. Потому что спать с гирями на пальцах неудобно.

Нас предупредили: он – продюсер и театральный художник, а не тот, на кого похож. Такая версия всем понравилась. Никто теперь не боится, что это босс мафии. Все думают, простой пенсионет, чудной старик, ставит по миру пьесы из жизни Неаполитанцев.

Он лично подбирал мне костюм. Называл меня «сынок». Просил не называть синьором, просто Чезаре.

- В первом акте ты будешь в белой майке, сынок. В Неаполе летом очень жарко.

И посмотрел вдаль, за шкаф, где примерно Неаполь, Моника Белуччи, папа Бенедикт и прочие равиоли.

Я спросить хотел – а пистолет? – но понял по красным отвисшим векам, что пистолет мне ещё рано. Мы, итальянские музыканты, гуляем в майках безоружные и спим поперёк дороги, как в

Индии коровы. Никто не прогоняет нас метким выстрелом. Самое большее, палкой спросят, нельзя ли тут пройти, осторожненько.

А мандалинист Жора у нас страшно нервный, он двадцать лет грустил по консерваториям, хотел от скрипочки детей родить. Но скрипачей в Латвии больше, чем в Неаполе членов мафии, приходится калымить мандалинистом, хоть название у профессии неприятное и даже двусмысленное.

Мы записывали любимую Тарантеллу синьора Мальдини. Там надо сыграть тройной форшлаг. У Жоры, кроме страшно полезного для жизни образования, ларингит, развод и собака родила 15 щенков. Он не в силах исполнить тройной форшлаг на мандалине. Тремоло, трель или четверной форшлаг – пожалуйста.. Но шерстистые уши синьора Мальдини хотят чтоб тарантелла была тарантеллой, а не огрызком из Шостаковича. А час записи в симфонической студии больше, чем родить, вырастить и покрошить в лазанью целый хор мандалинистов. Очень тогда переволновались за нашего. Оператор потом резал форшлаг из всякой мандалинной требухи, спасал Жору.

Я согласился на майку. А Жора встал в третью позицию, сказал, что привык в смокинге.

- Синьор Мальдини спрашивает, есть ли у вас отец – перевела хриплое итальянское недоумение переводчица Нина, толстая и красивая.

- Есть, а что? - ответил Жора голосом буревестника.

По безумию в глазах музыканта стало понятно. У него ларингит, жена ушла и плодовитая собака. Как бы делясь пониманием, неаполитанец улыбнулся костюмерше. Костюмерша в ответ описалась, но притворилась находчиво, будто из уважения.

- Синьор Мальдини предлагает вам согласиться на белую рубашку с закатанными рукавами – перевела Нина поднятую бровь синьора художника.

- Или что, мне оденут белые тапки, в чисто неаполитанской традиции? – горестно хмыкнул Георгий. – Впрочем, этого не переводите.

- Молодец – вдруг сказал синьор Мальдини по-русски, без всяких акцентов; цокнул перстнем и вышел.

43

Один мужчина в прошлой жизни был негодяем. Грубил маме, мучил хомячков, вырезал на скамейках сюжеты из камасутры. За это у него отвалился кран, ночью.

«Какое сильное давление» - с неприязнью подумал мужчина про наш водопровод.

Он побежал перекрыть воду. Но тёмные силы заперли двери в подвал. Этот мужчина, Фёдоров, выбил окошко, полез в чёрную неизвестность. И там повстречал кастрюлю с машинным маслом.

Понимаете, он полез головой вперёд и с тех пор очень интересуется, кто это придумал хранить в подвале нефтепродукты. Фёдоров упал в ёмкость лицом и настроение испортилось.

К слову, любой бы расстроился. Даже я, перенёсший уже побег жены и ещё другие радости из её рук, огорчился бы.

В подвале много полезных вещей. Лыжи, колёса, радиолы, старые раковины. Всё нужное, по меркам папуасов нашего кооператива. И, конечно же, масло в открытой таре, самый гнусный артефакт чёрной неизвестности.

В четыре утра я встретил этого Фёдорова. Он был зелёный и скользкий на вид. И брёл по трубе отопления в новые дали, освещал себе путь жёлтым светом из глаз. В дороге он перекрыл множество труб и не мог найти окно, через которое влез. Кто-то закрыл Фёдорова и даже заштукатурил. И видно было по зубам, Фёдоров хотел, но не смог прогрызть фундамент.

Это было как у Тесея с Минотавром, очень волнующе. На планете ночь, подземный лабиринт, кругом лыжи, раковины, радиолы. Вдруг из-за сарая выходит чёрный человек с кастрюлей и говорит что очень рад мне.

И он тряпок насобирал, огромный мешок.

Я спросил, - зачем тебе?

Он сказал – вытирать.

Я говорю - там уже вся вода стекла к соседям, через щели.

Он грустно так - да нет, себя, себя вытирать.

Именно от такой интересной работы у меня на всех фото правый глаз больше левого.

А жена его, фрау Фёдорова, красивая и несчастная. С таким прекрасным дураком живёт.

44

Если у отца нет дачи в Юрмале, или гелендвагена на худом конце, он вынужден вести потомство в лес. В лесу детей можно отдать людоеду (зачёркнуто), отвлечь от мечт про гелендваген всякой чепухой - облаком в форме слона, кузнечиками, пыльным маревом, черникой и песней про чибиса, исполняемой сразу в нескольких тональностях.

И вот идём мы, идём, навстречу – озеро. Хорошее такое, с водой. В воде два рыбака-гипнотизёра стоят по самые орехи. Смотрят вглубь радиоактивными взглядами и каждый внушает рыбе мысль:

- У него не ловись, ловись у меня, моя наживка реально со вкусом червяка!

Чуткая к гипнозу рыба не знает как ей быть. Мечется от крючка к крючку, вся в слезах, не может выбрать.

А мы идём, исполняем про Чибиса. Я тенор, Лялька бас, Машка народным голосом поёт. Тут один рыбак повернул к нам радиоктивные глаза и взглядом сказал следующее:

- Я три дна варил мега-кашу. На бульоне из раков, с диким рисом из южной Камбоджи, с черносливом и бальзамом Биттнера. Я неделю прикармливал мега-окуня. И вот, когда мега-окунь уже раскрыл пасть, большую, как дверь троллейбуса, приходите ВЫ и всё насмарку. Уходите. И пока не выучите верхнюю «си» в припеве – не возвращайтесь.

Не люблю когда меня взглядом обвиняют в неправильном пении Чибиса. За такое могу гелендвагеном переехать через всю его тощую рыбацкую жизнь. Я послал ответный приветливый взгляд, в котором рыбак мог бы прочесть про своё завтра - смерть от попадания в пищевод длинного твёрдого предмета, предположительно удочки.

Сцепиться в красивом танце смертоносных взоров нам не дали. Из кустов вышел нетрезвый амбал в плавках и сказал тихим голосом:

- Право, мне крайне неловко, я сознаю, насколько моё предложение диссонирует с общечеловеческим понятиями о праве на самовыражение, но, например, я сейчас буду тут купаться. И если в мой филей вопьётся крючок, вы увидите, как хорошо клюёт налим на яйца местных рыбаков. Ну?

Такому милому, вежливому юноше трудно было возражать. Рыбаки скрутили лески, Аполлон плюхнулся пузом о водную гладь, чем лишил рыб нервного здоровья. Мне показалось ещё, на противоположном берегу из озера выскочил мега-окунь и убежал в лес.

Теперь я знаю, как выглядит реинкарнация высшей справедливости. Это нетрезвый амбал в плавках. Он живёт в кустах у озера. Отличный парень.

И тут Маша сказала ужасное:

- Папа, почему мы никогда не ловим рыбу? Что, у нас нет денег на удочку?

Быть отцом без удочки и джипа плохо. И я рассказал Маше притчу:

- Говорят, раз в тыщу лет из озера выходит царь-щука. Она рвёт снасти, бьёт всем морды и запрыгивает назад в воду. У ней глаза как дверь троллейбуса, а кому она хвостом сломает нос, тот получает вечную уважение других рыбаков, звание генерала рыбацких войск и пожизненный дозвол на последнюю сигарету.

- Дети, вы хотите чтоб вам сломали нос? – спросил я задорно.

Дети признались, что с пелёнок недолюбливают рыбалку и про удочку спросили просто так.

И тут через дорогу поползла жаба. И это был мой шанс. Лихая охота на жаб, с пальбой из двустволок, с криками «ату её!» и «отрезай ей путь к лесу» стоит полутора гелендвагенов.

Мои далёкие предки душили бегемотов голыми руками, шо ж я, жабу не поймаю?

Во мне проснулся леопард и стал прыгать за жабой. Но жаба попалась не простая, а чемпионка по ушу. Очень ловкая. Какая-то Алина Кабаева среди жаб. Она сделала сорок прыжков, я – семьдесят четыре.

На семьдесят пятом прыжке мой внутренний леопард обозвал меня мешком говна и ушёл. Пришлось звать внутреннюю росомаху. В образе росомахи я любую жабу загоняю до смерти. Мы опять прыгали-прыгали, потом у неё сделалась одышка и тахикардия. Она упала и сказала:

- Всё. Я готова. Можешь есть меня, толстый дядька в шортах.

В глазах детей было счастье, ведь пап с гелендвагенами много, а просто сумасшедших поди поищи. Это оказалась царь-жаба. Холодная, шершавая. Она застенчиво нагадила мне в руку каким-то хлороформом и улыбнулась. Мы запихали ей в рот беляш и отпустили умирать.

Шучу.

Просто почесали спинку.

Вообще, мужчине без гелендвагена приходится быть благостным, романтичным, даже шутить без применения слова «жопа». Это как-то противоестественно.

45

У всех, кто жил в Риге, обязательно сыщется пара знакомых моряков. У Аньки нашёлся целый капитан сухогруза. Он сказал:

- За два поцелуя взасос довезу до Дании. Дальше на автобусе доедешь

Тут с Анькой случился приступ воображения. Ей привиделось, как большой корабль входит в порт, а на палубе стоит она, в чём-то белом и летящем. В кружевной шляпе с полями самых восхитительных размеров.

И всё. Ей стало неважно кого плыть и куда целовать. Ей захотелось моря.

Сухогруз оказался антикварной калошей, сыном порочной страсти самовара и стиральной машины. Он не тонул оттого лишь, что море не хотело принять в себя такое уродство. Океан активно отторгал эту гадость. Энергию отторжения внук таза и кочерги преобразовывал в поступательное движение. Непостижимым образом, вопреки законам богонравия, Франкенштейн плыл.

Копенгаген забоялся их впускать. Целую неделю они качались в волнах у Доггер-Банки. Официально если, пережидали шторм. На самом же деле, датчане надеялись, что монстр утонет и у датских грузчиков не будет культурного шока.

Аньку тошнило. Всю неделю она пробовала утопиться и никак не могла запомнить, но каждый раз застревала в иллюминаторе несколько широким задом. В день седьмой уже и пролез бы, но Анька глянула в зеркало и передумала. Её суицидальные намерения сменились желанием блистать вопреки обстановке.

Первый раз в жизни она весила пятьдесят кг. У неё была шляпа и на траверзе замок Гамлета. И Анька надела кружева, и вышла на палубу. И сразу кончился шторм. И датчане, увидав её в бинокль, устыдились своих страхов.

Это было очень красиво. Её зелёное лицо приятно оттеняла белая шляпа, и вся она, подобная ангелу, как бы напоминала местным биндюжникам, что даже в самой промасленной и неприглядной железяке водится живая душа.

Это я вот к чему:

Незабудкина! Хоть я небритый сантехник, а ты целый редактор новостей, у меня есть душа. И вечер нашей, будь она неладна, годовщины ты могла бы провести дома, а не со своими холостыми подругами.

46

Я своих демонов знаю лично. Первый – мастер спорта по вредительству – моя жена. На спор доводит до самоубийства нильских аллигаторов.

Второго звать Авось, он скромнее.

Жена коварней и неотвратимей, но Авось тоже фрукт.

Например: в понедельник очень мне хотелось пить.

Зашёл в Макдональдс, вы знаете, самый дешёвый способ прослыть хорошим родителем. Ещё клоуны у них неповторимо ужасные.

Мне хотелось пить.

- Фанты мне, говорю, побольше!

Унылая девочка за стойкой загребает лёд совковой лопатой и ссыпает в стакан. А на дно чуть фанты, для цвета. И вся эта Антарктида – мне.

Я с детства помню: съешь снежок и школьных друзей моих прекрасные черты растворяются недели на три. Температура, в горле лава, в носках горчица.

Мне бы возопить, - куда, мол, сыплешь, оторва! Окстись! Чай, не месяц май, и не юноша я, с жарким нутром…

Но тут, откуда-то с середины очереди зашептал Авось:

- Ничо-ничо, ты же взрослый! Какая ангина, обойдёшься лёгкой хрипотцой! Голос будет такой… с песочком. Даже эротично. Женщины страсть как любят простуженные мужские голоса…

Прошло два дня. У меня дискант а-ля Фаринелли. Распаляясь, перехожу на сопрано. Женщины с меня хихикают.

Гланды разбухли и болят. Стали как закатные солнца: малиновые, огромные. Будто Босфор в горле, сходящиеся скалы, крупную пищу внутрь меня не пускают.

Я стянул у Ляли шарфик, обмотался.

Три дня питаюсь чаем и скользкими маленькими пилюлями, приятно-зелёными. У Люси были. Надеюсь, они от этого, чем там я больной. Инструкцию к лекарству не нашёл. Пересчитал кол-во в упаковке – тридцать.

Резанула страшная догадка про женскую контрацепцию. С опаской смотрю на луну и на себя в зеркале. Наощупь пробовал найти на себе место, где, возможно, не случится теперь овуляции. Не сыскал. Наверное, уже не случилась.

И раздражительность какая-то…

Если к декабрю понабегут быстрые лёгкие слёзы, значит, дэмоны спелись и ржут теперь.

47

На утреннике дед Мороз ни один костюм не угадал. А дети, они за справедливость, не смолчат.

Иди ко мне, фея…

- Я не фея, я снежинка!

- Хорошо. И ты крокодильчик, подходи…

- Я не крокодильчик, я черепашка!

- Ладно, ты – черепашка. Будете песенку петь. Третьего позовём… это будет… ты крокодильчик?

- Не крокодильчик я (*Плачет*)

- А кто?

- Динозавр!

… Танцевали. Надо было хлопать себя по разным органам, не путаться. Голова-живот-попа-колени. На скорость.

В конце танца все смеются над глупейшим из родителей, что спутал попу и голову. Искромётный сценарий такой.

В тупые родители наметили маму одного турецкого султана, крупную даму в очках. Она выглядела безобидной. Никто ж не знал, что там султан – невоздержанный холерик.

Когда мама запуталась, дед Мороз захохотал саркастически «Шо ж вы, мамо». Все захихикали следом, а янычар не вынес – прыгнул на деда и стал разрывать на тысячу маленьких дедов Морозиков. Мальчика оттащили, но опять разогнался – и головой деду в пузо. Расчет был верный. В султанской чалме крупный брыльянт блистал, из люстры. Если в печень таким попасть, да с разбегу, не то что смеяться, как дышать забудешь.

Не будь дед такая каланча, - с ёлки своим ходом не ушёл бы.

Зал султану аплодировал стоя. Потому что нечего маму обижать.

48

Мне сказали, народ алчет песен. Надо пять-шесть, про зиму и любовь. Обещали слушательниц эзотерического толка, разумеющих светлую грусть.

Прихожу. Педагогический курятник. Самая модная песня у них – «Отцвели уж давно». Она же самая жизненная.

Сижу в углу, строю инструмент. Дамы подкрадываются, блестят в меня лорнетами.

- Ага! – радуются. – Превосходно!

Будто я поросёнок в яблоках и с хреном.

Впорхнула гений конферанса, женщина-праздник. Светится, хоть прикуривай. Не разделась, сразу ко мне:

- Я выйду в начале, буду бить в треугольник, как будто это куранты. Правда здорово придумала?

Кивнул. Зачем расстраивать. Может, думаю, есть в том сермяжная правда – убивать училок треугольником.

Я ведь думал: три раза брякнет (третий звонок) и уймётся. Так нет же!

Она подражала самым долгоиграющим курантам, чередовала феерические звонкие трели морозными переливами и драматическими адажио.

Причём никто же в зале не знает, что эта тётя – куранты. Все думают, она просто стоит и долбит одну ноту, потому что с ума сошла.

Лицо конферансье при том плясало нечто новогоднее. Подмигивало, поднимало бровки, многозначительно косило на ёлку, губами делало плям-плям.

Всем сделалось неловко и до слёз скучно.

Понимаете, треугольник такой инструмент, больше часа его соло можно терпеть за очень отдельные деньги. В детском саду партию треугольника поручают толстым и глухим, и тем, кто вчера описался. И то, все они потом стыдятся и до пенсии скрывают, что играли в саду на треугольнике.

С последним дзынем сделался как бы Новый год и заснул последний зритель. Конферансиха залудила прегадкое буриме собственного приготовления. Начло такое:

Новый год, новый год… (пять раз)
Что он нам всем, друзья, принесёт…

Потом, собственно, был концерт. Первая часть – дремучая бардятина. Про горы, деревья с человеческими эмоциями, и про способы разделить банку сардин на шесть голодных идиотов.

Ко второй части удачно опоздал С.Б., джазмен-алкоголик. Он тоже пришёл скулить про снег и чувство, но как-то не так заскорузло у него получается.

Как многие жители страны двух конфессий, он начал праздновать Новый год на католическое рождество, а старый Новый год ещё не наступил. Оттого дорога под ним змеится, выскальзывает и даже отпрыгивает в сторону.

С.Б. в пути подруливает себе бровями и чехлом гитары.

Пролез сквозь зал, плюхнулся на сцене, рядом. Расчехлился. Дыхнул на первые ряды так, что запотели лорнеты.

После антракта мы с ним пели дуэтом, но быстро стало лень. Потренькали «прощание в Венеции», повернули к финалу.

Тут у нас принято вовлекать в пение зал.

С.Б. шепчет: давай «виноградную косточку», я там слабаю импровизацию, под Джо Пасса.

Чего-то расдухарились, проигрыш залудили на 214 куплета. И с тех пор педагоги не любят джаз.

49

Господин посол мужчина важный. Унитаз у него большой, как церковь. И что-то в унитазе сломалось.

Господин посол решает для себя - не посольское это дело, унитазы починять. Вот был бы примус, тогда да. А за горшки – нет, не берётся. Ссылается на крайнюю рукозадость, присущую послам большинства мировых держав.

Секретарь посольства звонит по газете во «все виды сантехнических работ». И вот, мастер Женя приезжает. Добрейшей души. На входе его обыскали, но не отобрали ничего. Потому что лицо честное. И мобилку оставили, хоть в мобилке мог быть тротилловый эквивалент ракеты «Булава», или даже фотик.

Посол заглянул, спросил – «Хав а ю»?

- Женя – признался Женя.

- О! Джек! Овзихавтуплэйтугезалисенпикчерзтумайстори, йез? – спросил посол более детально.

- Йез – Женя в ответ слепил такое умное лицо, какое только можно слепить из двух пуговок, картофелинки и лукового перегара.

Большому, красивому как церковь унитазу Женя сделал наркоз, провёл резекцию и, якобы случайно, оторвал бачок с корнем.

(На самом деле, так поступают все настоящие сантехники, чтоб потом было, о чём рассказывать.)

И грянул потоп.

В посольском туалете ведер с тряпками нет.

И вот, Евгению мерещится ужасное: госпожа наша Латвийский Президент пьёт корвалол стаканами, вся в пятнах, трясёт нотой на пяти страницах и орёт по-русски:

- Что это такое, сука! Зачем ты затопил посольство!

Он сдирает с себя свитер, хочет вытереть вооружённый конфликт между Родиной и Англией.

А вода прибывает. Женя ищет, чего бы перекрыть, забегает за угол, там в душе человек плещется. Женя сквозь перегородку, громко, но вежливо, чтоб не испугать:

- Простите, где тут перекрыть холодную воду можно?

Теперь представьте: вы – жена английского посла. Моетесь в душе, вся, вместе с сисями. «Джинглз бенз» напеваете. Вдруг вбегает полуголый инкогнит, орёт взволнованно, очень похоже, что по-арабски. И совсем не кажутся его слова предложением дружить народами.

Жена посла заявляет твёрдо, что из душа не выйдет, потому что верна стране, королеве и, по возможности, мужу. А лучше принцу Чарльзу. А ещё лучше Девиду Бегхему.

Евгений переспрашивает:

- Чиво?...

Тут слушатели-мужчины перебивают рассказчика, интересуются, какая она из себя, дрим вумен оф бритиш амбассадор. Женя врёт, говорит не рассмотрел, и что вера в Бога не велит ему алкать чужих тёть. По жару отпирательств всем делается ясно: сеанс имел место. И размер груди был – минимум четвёртый.

А вода прибывает.

Женя убегает вдаль, искать вентель. Леди, чуть прикрыв собственность господина посла, зовёт всю королевскую конницу, всю королевскую рать. Прибегают конница и рать – в туалете никого. Лишь озеро до горизонта разлилось. А это Женя решил предупредить шефа о конфузе.

(Владимир Сергеевич, у вас есть чем застрелиться? Ну, слушайте, тут такое дело.)

Набирая номер, Женя случайно забрёл в спальню. Совершенно случайно.

Не ждите наигранных реплик - «Кто спал на моей кровати и разорвал её на тыщу маленьких кроваток!» Всё-таки, Евгений - не дикая селянка Машенька. Он не валялся в перинах, просто фотографировал немножко. Той самой, неотобранной мобилкой. Потом, когда конница и рать выкручивали обе его руки и левую ногу, объяснял по-шпионски правдоподобно: - снимал на память, вдруг никогда больше не удастся побывать в спальне Английского посла...

Теперь мы всей фирмой ждём прилёта из Англии ракеты Першинг с вот-такой боеголовкой, которая будет являть собой адекватный ответ на Женину дерзость. Страшно, йопт!

50

У барда Юры водилась чудесная женщина. Она в палатке спала за просто так, не требовала поутру БМВ в подарок. И от ля-минора её не тошнило. Почти. Мы все Юре завидовали разноцветной завистью.

Но Юрино небо рухнуло, как штукатурка в борщ, внезапно и с обидными последствиями. Его жещина ушла к джазмену. На слёт гитаристов с большой буквы «Г» Юра приехал соло. Быстро-быстро напился и стал нервно петь про поезда, про закурить и разом всё перечеркнуть. Сообразительные барды посуровели лицом, заныли солидарно-надрывное, про бетон мужской дружбы в противовес испаряемости женского рода.

На первом же ай-на-нэ, тряхнув воображаемым монисто, в круг вскочила чужая тётка. Вся в малиновом трико. Сама белая, огромная.

Бардов этим не проймёшь. Нас не занимают здоровущие пляшущие бабы. Мы вообще считаем абсурдом танцы на трезвую голову в одетом виде. Должно быть эта женщина приблудилась от ролевиков. У них там, судя по лицу, она была предводитель гоблинов.

Игнорируя ритм, женщина сделала несколько опасных прыжков. Сосед справа опознал в них танец пьяного паровоза. Сосед слева сказал, что видел похожую пантомиму у Марселя Марсо, она называлась «толстый удав умирает» А бард Виталик, который в пьяном виде способен видеть будущее, сказал - нет, это цыганский танец «Ручеёк».

Когда женщина закричала «хоп! хоп!», стало ясно, щас она споткнётся и будет беда. Стоящие поодаль прикинули на сколько увеличится их порция шашлыка, если дама упадет удачно – сразу хотя бы на троих.

Но тётя сменила концепцию. Она придумала кокетливо сесть мужчине на колени. Не знаю, чем именно привлекли её Юрины мослы. Наверное, у некоторых женщин в заду есть специальный орган, распознающих свежих холостяков.

Юра видел какая попа близится. Успел подумать, что вместо ужина будет реанимация, но спастись уже не мог. Женщина села.

И что-то хрустнуло. Два раза. Первым понятно, был стул. А потом, когда они упали, был ещё второй «хрусь», пронзительно-печальный, похожий на Гибель Любви. Все ясно слышали этот скорбный звук.

Юру достали, отряхнули, вправили что вправилось, ненужное отломали, выбросили. Женщине сказали правду, она обиделась, ушла.

Юра молчал весь вечер, а к утру написал сразу тридцать матерных частушек.

Я вам не могу их тут спеть, вы сразу разбежитесь.

51

Стоял во дворе грузовик, ЗиЛ. В кузове – ящики. И на них такие надписи волнующие. Ирис «Золотой ключик», леденцы «Монпасье», батончики «Буратино», карамель «Раковая шейка».

Кто-то з пацанов высмотрел, вычитал, и мы спланировали дерзкий налёт. Решили грабить днём. Цель нападения – ящик с надписью «барбариски». Лезть поручили Ромке Паталую. Не поручили, просто забросили в кузов тело. Он длинный, но лёгкий. Кричим:

- Сбрасывай ящик!

Рома лазил, лазил… Сбросил ящик. Спрыгнул сам. Добычу взвалили опять же на Рому.

- Теперь беги!

Рома побежал. Все орали, куда надо сворачивать, но Рома бежал только прямо, как паровоз. От страха, наверное, разучился поворачивать. Он худющий такой, дохлый, галопирует неэстетично и неэффективно. Все носятся вокруг, советы дают, как дышать, как носком толкаться и шаг делать шире, и что «Рома-сука-куда-прёшь-давай-на-стадион»… А он только сипит, синеет и сгибается в вопросительный знак.

Забежали за железную дорогу. Тут у Паталуя крен случился, вправо. По большой дуге обогнули одинокий гараж и побежали назад. Опять через железку, потом влево на мост, потом назад, под мост…

Цель наша не имела топографического выражения. Мы бежали, пока Рома упадёт. И он рухнул. И сказал Рома односложно, что больше не может, очень устал и переживает полное крушение надежд из пяти-шести букв, вторая «И», и это не «фиаско».

В результате петляний от ЗиЛа отбежали шагов на сто, не больше. Но уходить от погони надоело, хотелось уже делить. Осмотрели. На этикетке значился «золотой ключик» - не барбариски. Роме, теряющему под кустом интерес к жизни, попеняли на невнимательность, но в целом простили, обошлись пендалем. Стали драть фанеру. Потом упаковочную бумагу.

Конечно, никакие это не конфеты были. Это были резинки под консервные крышки, огурцы дома закатывать. Целый ящик. Советская промышленность тару экономила.

- Так вам и надо, сволочи! – пошутил Рома из-под куста зелёным голосом.

Мы в гневе все местные берёзы резинками увешали. Швырялись. Хотели ещё шины ЗиЛу проколоть, из мести, но запалу не хватило.

При том при всём нашу компанию учителя называли «хорошие мальчики». Наверное потому, что мы никогда не грабили поезда.

52

Школа. В день первый Маша зевнула:

- Всё нормально, только гладиолусы тяжёлые.

В день второй жаловалась на скуку – никто не спрашивает, а она знает всё и могла бы рассказать. Про динозавров – так даже в лицах и с примерами на живых людях.

В третий день Маша потеряла телефон и кошелёк. Жизнь сразу стала ярче. Машу спрашивали все подряд и помногу раз. Правда, задавали не как хотела, научные вопросы о монстрах, а мелочи – где твои мобильник, кошелёк, и совесть, девочка. Хоть им ясно было сказано – потеряла. Потом, как и обещала, всё само нашлось на полу под партой. Кроме совести, которая по сути лишь метафора и не может ни пропасть, ни обнаружиться. Это вы должны понимать, взрослые же люди.

53

Ездил в детстве на охоту, на уток. С мужиками. Мужики матёрые, вкусно вонючие водкой, портупеей и носками. Настоящие охотники. Матюки такие, что чуть громче – утки бы падали без выстрелов. От шока.

На спине плачущего в гору газона жарили яишницу. Куриные яйцы жарили, собственными рисковали в сантиметре от сковороды, прикрученной (казалось!) прямо к газовому баллону. На полном скаку. Весело и страшно!

День ехали. Байки и гогот. К ночи добрались до хутора. Долго пили, потом шли спать на сеновал. Детей двое - я и не помню уже кто. Забрались на вершину, смотрели спутники. Раз в десять минут прибывали ослабшие. Все нанизывались задами на вилы, спрятанные в сено для юмора, ойкали и головой вперёд втыкались в пыльные травы. К четырём утра стог был нафарширован мужиками под завязку. Пятки торчали во все стороны, как орудия броненосца. Сеновал Потёмкин-Таврический.

Последним пришёл Иваныч. Самый голосистый и бездонный. Он тоже ойкнул, почесал уколотое полушарие и почему-то полез спать в собачью конуру. Схватил мухтара за уши, выволок из будки и занял нагретое место.

Утром все мужики злющие, будто не мухтара, а их с тёплого повыгоняли. Рожи синие, губы как сосиски. Один Иваныч, счастливый, спит в центре двора пузом к солнцу. Он встал в пять утра и выпил три бутылки, оставленные компанией на опохмел. Остряк, Бэнни Хилл.

Никто не смеётся. Даже не улыбается сардонически.

Взяли проглота за конечности, раскачали, вбросили в кузов, поехали дальше. В тишине. В страшном молчании. Иваныч издевательски храпит весь остаток пути. Нагло. Точно в уши и звенящие мозги.

Потом была собственно охота. Пальба, спаниэли таскают селезней, в каждом кусту свой Мюнхаузен. Иваныч тоже шёл охотиться, но теперь спит в луже. Потом рассказывал, что просто устал, и подумал «на фиг!», и лёг, и уснул. А вечером встал и полез по камышам уток собирать. Больше всех набрал. Ни разу не пальнул в тот день.

Зато на следующий - повесил на сук жестянку из-под сардин в томате, отсчитал полста шагов и по-Лермонтовски поднял ствол. Проверял себя на меткость.

Естественно, засадил кому-то в Ж. Всего одна дробина, но извинялись всей компанией, поили вражеских охотников...

И всю дорогу – Иваныч... Иваныч... Иваныч...

Как А.Калягин в «Зд., я ваша тетя». Пока в кадре – всё переливается и блестит. Выходит за рамку – будто потеряно что-то...

Я вовсе не стремлюсь к алкоголическим подвигам. Меня восхитила тогда Иванычева отдельность от всех. Бесконечная свобода, которая не через убегание от общества рождалась, а прямо тут, в присутствии. Не нравится – сами бегите. Беспредельный кураж.

Теперь скажите мне, что такое обаяние?

54

У доктора дочка, они приехали на день рождения к одному мальчику. Подарили вот-такенную машину. Мальчик покосился…

Спрашивает:

- Ты же врач?

- Врач…

- Никуда не уходи!..

Теперь доктор сидит, пришивает лапу медведю. Аккуратненько так, крепко-накрепко. Он хирург по образованию, а в клятве Гиппократа говорится про помощь всем печальным существам, не только людям.

Люська – циник по образованию – побежала в прихожую, схватила свою дублёнку и стала подсовывать вместе с оторванной пуговицей.

- Вот овечка, зовут Людкой, - говорит…

а в клятве Гиппократа ничего не сказано о тех, кто при жизни нуждался в помощи, а теперь стал шубой или ботинком… И вообще, могла б сама пришить.

55

Люся меня обидела. Сказала, что я голодранец. За это я отказался есть её суп Это была моя месть.

С очень прямой спиной я пошёл в кулинарию за едой. У меня под домом кулинария. Там продают кишечные инфекции. Постоянным клиентам в подарок язва всего пищеварительного тракта.

Вы не представляете, как приятно быть одиноким мужчиной в женской очереди. Особенно, если берёшь сентиментальные кефир и полуготовые шницеля. Ах, как все сопереживают прямо вам в позвоночник!

Конечно не все так просто. Надо ещё уметь дрогнуть голосом, произнося:

- Три голубца, пожалуйста.

И улыбнуться миру устало и снисходительно.

Разрушительная мощь этого приёма огромна. В нём больше чувств, чем во всех романах Шарлотты Бронте вместе взятых.

Чуткая очередь вздыхает выразительно. Будь эта очередь женской сборной по пляжному волейболу, я б на ней женился, ей богу. Настолько мы друг другу симпатичны. Но пляжных волейболисток ещё с детства раскупают и сторожат потом с доберманами. В очереди клубятся одни метательницы молота и ядер, недефицитные с детства. Я стесняюсь таким женщинам предлагать серьёзные чувства.

Обычно продавщица радеет обо мне, намекает недвусмысленно:

- Не берите блинчики, мужчина, возьмите строганов, он свежее.

Бровями взмахнёт как птеродактиль и ударение сделает:

- Свежее он!

И сразу понятно: блинчики сулят сыпь, удушье, долгую агонию, а от строганова выйдет лишь весёлая беготня по коридору, к сортиру и назад.

Так всегда было. А тут продавщица ничего не сказала. Только посмотрела в глаза долго, как бы прощаясь. И промолчала.

И конечно, это оказались быстродействующие голубцы улучшенной ядовитости.

Очень, очень неудачно обиделся я в этот раз.

56

Когда Машке было ещё четыре, а Ляльке один, я вдруг упал на колени и стал молится. Дрогой Бог, обратился я в сторону спутниковой антенны, спасибо тебе за всё. У меня всё есть, но очень хочется спать.

И на следующий день, без предварительных знамений прямо с неба спустилась тёща. У ней были крылья с бриллиантами, сапфирные глаза и другие признаки святости. В частности, авоська с едой на три дня. Если грамотно распоряжаться, авоськи могло хватить до субботы. И сказала тёща голосом доброго змия:

- У вас времени - до шести. ЭТИХ я задержу. Бегите куда хотите и познайте там добро.

Мы ж не дураки тратить время на переодевания. Мы, в чём были, прыгнули в мой большой американский лимузин и поехали на море. И выехали на пляж, пустой по осени, и разложили сиденья.

- Ты готов испытать блаженство? - спросила Люся, игриво подняв бровь.

- Я ждал этого вечность - ответил я самым жарким из всех своих шёпотов.

В ответ Люся улыбнулась и дрогнула ресницами. А я обдал её перегаром, расстегнул ворот рубашки и рукава. А она скинула шлёпки.

И мы обнялись и уснули самым нежным образом.

Потому что две маленьких девочки кому хочешь докажут - нет в свете счастья, есть только покой, воля и три часа чтобы поспать.

57

Дети – птахи божьи. Даже в выходной встают в шесть утра и чирикают. Летают по жилищу, ищут чего поклевать. А мы спим, нам очень хочется. Выходной. Им же некогда спать, детство кончится вот-вот и конфеты потеряют вкус.

Когда дети приземляются, важно успеть спрятать пузо, иначе печёнки и всякие желудки могут пострадать. Не говоря уже про непасхальные тантрические символы.

Вчера – помню сквозь дрёму – с меня стянули одеяло и считали родинки – 103 шт. Я похрюкивал от счастья.

А сегодня я был бережком синей реки. На мне сидели и болтали ногами, с меня ловили рыбу, потом на мне же развели костёр и варили уху.

Люся спросила не просыпаясь:

- Лаврушку кинули?

По пробуждении не помнит. Рефлекс однако.

58

Сестра моя мечтала о собаке. О настоящем лохматом друге. Поэтому с первой стипендии завела ротвейлера. А со второй - мужа. И съехала. Пёс остался скрашивать одиночество мамы, которая всю сознательную жизнь ненавидела квартирное собаководство.

Совесть сестры чиста. Она говорит, что теперь маме не скучно, не страшно и к тому же не малоподвижно. Для лектора в возрасте это дорогого стоит.

Однажды пёс пробрался на балкон и съел полмешка сухого корма. Девять кило. Воды ему тогда пить нельзя было, он бы от воды сразу раздулся и лопнул. А прокакаться не мог, насухую. Маман с двух ночи до пяти утра носилась с этим мешком какашек по стадиону, спасала глупую четвероногую жизнь.

В три года у собаки обнаружилась эксплозивная психопатия. Он совершенно не умеет ходить пешком - только вскачь и только в режиме максимальной тяги. Ри том хрипит и пенится. Маман, чтобы сохранить равновесие, сильно отклоняется назад и бежит в полуприседе. Когда они мчатся вдоль кустов, собаки не видно – похоже, женщина несётся на водных лыжах по асфальту. Лицо у ней при том сердитое. И речи.

У матушки всякие учёные степени, на работе она вся важная, знает слова аккомодация, конвергенция и апперцепция… К ней раз студенты напросились в гости, дипломники. Подошли чуть раньше. А на них из-за угла выстреливает доцент С. В косынке набок и в бигуди. Кренится в повороте, как глиссер. Летит, влекомая чудовищем с раскрытой пастью. И в хриплом дисканте её различимы слова на Х, на П, на Б, и на З…

Потому что аффект.

- Надежда Гавриловна, какие вы слова знаете! – сказала Таня Приходбко, очень симпатичная девушка, кстати…

59

Изучал Люсины пропорции. Оказывается, периметр Люси в районе экватора – 62 см. Длина ноги, если мерить от острова Гаити до Южного полюса – 108 см.

Из этих 108-ми, юбка прикрывает 31 сантиметр (жаркую, экваториальную зону).

Потом подумал, что Люсин экватор должен обозначать не середину, а самое широкое место на планете. На Люсе самое широкое значительно ниже прежнего экватора и составляет 87 см. А 62 – это длина параллели в районе субтропиков.

Но люблю её, конечно, не за эти синие глаза (левый Тихий, правый – Атлантический), а за Ум, за ноосферу.

Улетает на три дня. Говорит (шутливо):

- Постель менять не буду, чтоб никого не водил.

Походила туда-сюда, рассердилась, стала перестилать на свежее.

- Ты ж дурак такой, притащишь, и что твои бабы обо мне подумают?!

(Вовсе нет у меня никаких баб, но я не признаюсь, чтобы казаться дороже).

60

Мой приятель Игорёк умел петь песню про медуз. Тихо и проникновенно. Поэтому его любили шесть красивых женщин и тридцать – с обыденной внешностью.

Тридцать седьмой стала Рита.

Вообще бесперспективняк.

Чё мне делать, Слава? – она вздыхала, как стадо влюблённых слонов.

- Если сидеть в углу – ничего не высидишь. Соверши красивую глупость, чтоб было чего вспомнить, хотя бы…

И вот однажды Рита вышла в центр зала, где сидели тридцать шесть других женщин, и сказала:

- Маяковский.

В ресторане было от электричества рыжо.
Кресла облиты в дамскую мякоть.

Когда обиженный выбежал дирижёр,
Приказал музыкантам плакать…

И ушла. И все ей смотрели вслед, даже второй номер в списке особ, имеющих право чмокать Игоря в щёку, Наташка. А у Наташки глаза, между прочим, один синий, второй светло-карий. Но даже она понимала, что это был личный её, Наташкин капут.

Неделю Ритка яростно целовала бедного моего приятеля по подъездам, потом бросила.

- Чё мне делать, Слава? – спрашивал теперь он. Снимал при том интеллигентские очки и тёр переносицу.

А что ответишь? Если было и прошло – значит голяк.

Игорёк уехал в Питер и стал гениальным гитаристом. Играет в шести группах и живёт в коммуналке где-то в районе наб. р. Карповки. Жена у него симпатичная и умная. Песню про медуз не слыхала ни разу.

61

Ты, Египет, сам виноват. Зря к зиме снижал цены.

Трындец тебе.

Незабудкина в тебя едет. На неделю.

Бедный, бедный Египет!

Первыми заплачут акулы.

Люся Незабудкина никогда их не ела, но хочет.

Они ж доверчивые, как телепузики, близко подплывают к белым женщинам.

- Биг вайт вумен! – радуются акулы. – Хай!

- Еда! – радуется Незабудкина. – Беззащитное рыбье мясо!

Бедные, бедные акулы!

Или «Рассвет с горы Синай».

Люся Незабудкина думае, что Синай в Египте.

Ну допустим, приползёт гора в Египет, как того требует Люся.

А часов у Люси нет. Ну есть, только биологические.

Надо ж ещё совпасть с расписанием Люсиных восходов…

Бедный, бедный Рассвет на горе Синай!

Не знает, каково это – опоздать на встречу с Незабудкиной.

А крокодилы в Египте есть?

Бедные, бедные крокодилы!

Кто там ещё остался, тараканы и холера?

Холере – соболезнования.

А вот тараканы могут выжить.

У Незабудкиной инсектофобия. Насекомых Люся поражает визгом. Но насмерть ещё не умеет.

Поэтому первой в гостиничный номер врывается Наталья Аркадьевна, попутчица, бест-оф-френдс. Разгоняет нечисть аплодисментами, топотом, свистом. Только потом, по сигналу «хороша у нас в саду черешня», входит Люся.

А я остаюсь дома, с детьми. Это просто, воспитывать двух девочек. Я умею гавкать «Ну-ка есть!» и «Ну-ка спать!»

У меня хорошо получается. Ляля спит уже на тридцатом гаве. Маша – не знаю, после сотого засыпаю сам.

Умею варить сосиски, знаю, где лежат колготки (не знаю где – чьи).

Вот только волосы… По утрам из них и резинок надо взбивать композиции «под принцессу».

Я же умею только под «женщину с Марса».

А девки в гневе – вылитая Незабудкина.

Бедный, бедный я…

62

Дантисту Петрову выпало хоронить родную тётю.

Петров пригласил на похороны струнный квартет. Это интеллигентно и очень тонко. И всего шестьсот долларов. Духовой оркестр на похоронах выглядит вульгарно. А эти пришли, культурные такие, во фраках, поставили пюпитры.

- Ты конечно же не забыл взять ноты? – интимно пошутил первая скрипка в ухо виолончели.

Раздобыть ноты Шопена обещал виолончель, самый ответственный из всех. Но вместо партитуры коллегам было представлено бесподобное по драматическому накалу описание минувшей ночи – с кражей носков из магазина, последующим мордобоем, пьянкой и нежно-зелёным утром, встреченным в объятьях некой одноногой Зины.

Тётиным похоронам забрезжил финал как на обычной свадьбе, с битьём музыкантских морд.

- Ну, что теперь, мы будем играть одноногую Зину? – спросил первая скрипка, записной острослов.

Наизусть они знали только танго Пьяццолы, музыку нервную, красивую и, самое важное, сулящую сердечный приступ самому Петрову, заказчику праздника. Ситуация накалялась. Дантист Петров из противоположного угла делал бровями знаки, разрешающие играть. Тётю вот-вот должны были внести.

И тут альтист вспомнил, у него же с собой есть другие ноты, Моцарт, «Маленькая ночная музыка». Произведение необычайной жизнеутверждающей силы, игривое и оптимистичное. Никогда и никто ещё не смотрел на воздушного Моцарта так угрюмо, как тот струнный квартет. Сговорились играть в четыре раза медленней, на ходу перекладывая в минор.

Первая часть получилась модерн, мазурка. Гости такое музыкальное обрамление нашли очень свежим и проявили к квартету больше интереса, чем это принято на похоронах. Когда доиграли до припева, когда шесть крепких алкоголиков внесли тётю, Моцарт поступил как подлец. В минорной раскладке свого произведения, в припеве, он зашифровал русский народный танец «Цыганочка». Вы знаете - бубны, мониста, лохматые мужики с медведем на цепи, мохнатый шмель на душистый хмель, эх, раз, ещё раз...

Так возник самый разнузданный и разухабистый похоронный марш со времён изобретения похорон.

Несущие гроб мысленно переглянулись.

- Эх, прокачу? – насторожились они. Никто не знал, как правильно носить гробы под музыку развратных танцев XIX-го века. Логично было бы вприсядку, но такое переосмысление традиций может вызвать возражения со стороны родственников кикиморы.

Хорошо у Моцарта припев короткий, после цыганочки мазурка звучала вполне печально. Дальше пошло ещё лучше. Гости постепенно привыкли к музыке, на восемнадцатом припеве уже притопывали и танцевально поводили плечами. А к тридцатому кругу даже тёща забыла о намерении похоронить своего Петрова рядом с кикиморой. В общем, хорошо всё закончилось. Потому что упорство и уверенное выражение лица всё побеждают.

63

Дом без женщины звереет.

Дикий делается, наглый, как обезьяна.

Уж я кнутом ему грозил…

Хуже всех – посуда.

Мыл её восемь раз.

Всё равно замаранные плошки ржут из всех углов.

Думаю, они самопачкаются и расползаются по квартире.

Вечером выстрою всю сушилку и каждую десятую тарелку расстреляю к чертям. Уцелевших в цепи закую. Пусть знают.

Где стоял диван, теперь разорённая берлога. А в коридоре йети натоптали болотной грязи.

На кухне забавное. Если хлопнуть в ладоши, с вершины мусорника сходит лавина, как с Казбека.

Сфотографирую феномен, пошлю в Нэйшнл Джографик, они там любят катаклизьмы.

Это всё Люся. Отъезжала, болтала о второстепенном:

- Смотри не одевай на Лялю розовое с оранжевым, это не подходит. Сочетать нужно синее-белое-голубое, красное-чёрное, розовое-белое-серое. В крайнем случае – оранжевое-зелёное.

А про главное, как заклинать демонов домашнего беспорядка – забыла!

Победить без магии нереально. Разве только повернуть сюда Западную Двину, чтоб смыла эти пампасы-прерии-конюшни.

Мне с вами теперь некогда эпистолярничать. До полуночи надо перебрать фасоль, посадить сорок кустов, переловить детей, убаюкать медведя и познать самоё себя. Если успею, скажу всем, что еду на бал, а сам мордой в тыкву – и спать.

А розы как-нибудь вырастут сами.

P.S.

Ещё позвоню Незабудкиной, спрошу, есть ли он на самом деле, этот Египет. Может враки всё…

64

Мы с Незабудкиной жили в раю, не знали дайвинга. Но Наталья Аркадьевна Люську совратила. Протянула загубник, сказала:

- Закуси, дева. И окунись…

И Незабудкина познала:

Добро – это тыкать пальцем в бока коралловым рыбам.

Зло – это сидеть на Севере, где на весь город ни отдной мурены. Кроме Натальи Аркадьевны, конечно.

А вчера звонит Наталья Аспидовна, говорит: срочно смотрите кино про дайверов!

А мы ж теперь Red Sea Divers, пропустить не можем. Включаем.

Там играет тётка, похожая на Шарлиз Терон, но не она. Зато голая и в постели. И очень жизненно так, вся в терзаньях: отдаться соседу по койке или «головаболит».

Ну, думаю, хороший фильм. Наливаю в чай бутербродов, сажусь вечер коротать.

Шарлиз меж тем определилась: сосед не убедителен, пусть спит как есть, нецелованным.

Ага, догадываюсь, значит грядёт разгуляй в финале. Эльниньё страсти, цунами поцелуев.

Наутро Шарлиз с соседом едут нырять. То-сё, ныряют, выныривают, а катера нет. Уплыл. И весь остаток фильма они вдвоём плавают-плавают-плавают. Два киношных часа. Ругаются, целуются, машут танкерам и яхтам.

А совсем в конце их, обоих, схрумкали акулы. Всё. Ужос.

Ни секса, ни пафоса. Ни нравственного перерождения героев.

И очень жалко Шарлиз. Красивых баб в свете не так много, чтоб ими кормить акул.

Мораль сами выбирайте, из двух вариантов:

А) Не ходите дети в окиян нырять.

Б) Кто откажет соседу по койке, будет съеден без гарнира не позднее вторника.

За то что Наталья Подколодная мне вечер загубила, я ей месть придумал, леденящую. Дождусь по телеку чего-нить заунывного, вроде передачи «сельский час», и чтоб коров побольше. Позвоню, скажу:

- Смотри обязательно! Там про дайвинг сюжет будет!

Пусть сидит, изучает технику карусельных надоев.

65

У меня есть приятель по имени Марк Френкель. Он рокер, иногда ещё физик. Очень умный.

Как все физики, уверен: на Земле есть лишь один вид науки, Физика.

Остальные подделки под науку придумали тупицы, которые физику не осилили.

Однажды Френкель увлёкся археологией, криптологией и кибернетикой. Походя расшифровал фестский диск. Чего никто не мог, хоть многие старались.

Доктурскую защитил про диск. Выступал на симпозиумах и решил однажды братьев-рокеров причастить. По-нашему, по-Прометейски.

Замутил лекцию в рок-клубе. Пришёл обритым под арбуз, чтоб все поняли, какое щас будет нифига себе. Засветил диапроектор, стал гундеть про стохастические функции, похожие на облака.

У рокеров два состояния бывает: жидкое и газообразное, они или пьют, или орут некротические песни. Им криптологии не нать, они хайры распушили, танцевать хотят. А музыки нет, нынче лекция у нас.

Марк пока вводную говорил – все уже пьяные.

Сидят, ржут, требуют таких слайдов, чтоб побольше эротики, с голыми археологинями. Просят очередной абзац исполнить на тон выше, в соль-мажоре…

Марк пыхтел-пыхтел, потом сдался.

- Короче, говорит, голодранцы! На фестском диске зашифровано имя бога и в имени этом 34 символа! А теперь подайте мой «Страдакстер», я накидаю вам по соплям!

И стал опять нормальным человеком. Даже «Black magic women» спел.

66

Женщины с грудью, бойтесь козлов! Потому что к вам любовь может быть особенно жестока. Вот Алина, одна моя знакомая, всегда покупает себе «D». И кто скажет, что это не прекрасно, тот никогда не плакал пьяными слезами в это самое «D».

Женихи Алине доставались особой, повышенной степени козлиности. Первым был Евгений, молодой, перспективный алкоголик. Жизнь с Евгением обещала много интересных событий. В книгах такие называются «трудное счастье».

У второго, Сергея, в анамнезе значилась жена, не поддающаяся разводу. Тоже увлекательно.

У третьего, Дмитрия, из минусов был живой крокодил Антон, проживающий с Дмитрием в одной квартире.

Когда желание замуж стало нестерпимым, Алина выбрала Дмитрия, потому что крокодил интересней первой жены и престижней алкоголизма.

Вообще-то, крокодил возник не сразу. Сначала были тараканы, пауки, питон и варан. В Диминой квартире жило его хобби. В каждом углу шипело, ползло и всё время кого-то доедали. Потому что мужчина без изюминки – это женщина.

О крокодиле Дмитрий только мечтал. На него не хватало денег.

Он заказал себе игуану. Но в далёком Петербурге, на родине российских игуан, кто-то перепутал накладные. И в здоровой склянке прислали каймана, трогательно-зелёного, заплаканного, с порушенной психикой животного. Алина не хотела делить ванну с крокодилами и требовала вернуть мечту в магазин. Тем более что и Петербург настаивал и даже грозил прислать бандитов с освободительной миссией.

Дмитрий вяло оправдывался третьим томом детской энциклопедии, там сказано, что кайман - не крокодил, а только похож.

- Ты ещё скажи, что негр – не человек! – находчиво возразила невеста. И добавила, с горечью:

Расист!

И ещё сказала, как положено молодым красавицам, понимающим силу своего «D»:

- Выбирай, или я – или он!

И они стали жить втроём. Молодые на диване, крокодил в ногах, в аквариуме. Пресмыкающийся завёл дурную привычку. По ночам он светил жёлтыми глазами прямо на голую Алину. Не все женщины любят такой острый секс, когда чуть не туда махнул ногой – и у тебя на полтуловища меньше.

А потом у них сбежала «Чёрная вдова», опасная паук-женщина. Один её укус убивает трёх человеческих мужчин. Легкомысленный Дмитрий успокоил Алину, сказал, что нипочём чёрной вдове не раскрыть рот сразу на трёх мужчин. А если вдова переползёт сквозь розетку и укусит соседа, значит есть на свете справедливость.

Помолвленные месяц ходили по дому в резиновых сапогах и в брезенте, искали паучиху. Такая опасная жизнь очень их сблизила. Потом Алина научилась кормить питона смешными кроликами. А через год случайно обнаружила, что сидит и рассказывает кайману про свою жизнь. Крокодил Антон был рождён прекрасным собеседником, вдумчивым и очень тактичным.

И вообще, как-то всё наладилось. Тараканы оказались смешными шустриками, пауки робкими тихонями, питон забавно стеснялся собственных какашек, кайман до дрожи любил свежую плотвичку. Алина не представляла, что из холодных гадов может сложиться такой прекрасный коллектив.

А потом крокодил умер. Дмитрий накормил его неправильной едой. Антон три часа бегал по аквариуму на задних лапах, у него в груди всё болело. А потом стих. Ушёл в страну тёплых ручьев и нескончаемых карасей.

И сразу Алине стало понятно, кто для неё был настоящий друг, а кто садист и отравитель смертельной рыбой. Алина хотела даже к маме уехать, но не смогла оставить живых существ на этого опасного урода, муженька своего.

Антона похоронили на морском берегу, зарыли в мокрую от слёз дюну. Через тысячу лет его найдут археологи и наплетут белиберды про населявших Латвию крокодилов, вместо того, чтоб написать правдивую лавстори. Например, такую как эта.

67

У Машки гланды, из-за них полдня прожил в больнице, в палате для дюймовочек. Там одна, по годам – Алиса времён Зазеркалья, пересказывала свиданье с неким Ланселотом:

- Карочи, пошли мы гулять. Ну там баунти-хуяунти всякие. А сигарет не взяли.

И дальше начинается очень жестокий рассказ про любовь.

Иногда в палату вбегали юноши. Алиса на них фыркала, игриво называла «козлами».

Говорит мне:

- Папаша! Ну прогоните вы этих придурков! Рявкните на них, вы ж мужик!

Я так растерялся, пошёл гонять. Даже рявкнул.

Ощутил себя мужиком. Яркие, незабываемые впечатления.

А придурки вовсе не к ней шлялись, а к Ирке, которая красиво грустила в окно, свесив ногу с-под-одеяла.

Так я оказался орудием женской ревности. И мужиком впридачу.

Придурки схлынули, сделалось скучно. Ирка ногу спрятала, зевнула.

Через два часа только самый храбрый из придурков постучался, стал задабривать всех конфетами, меня тоже.

Я его назвал Тёркин. За находчивость и упорство.

За Тёркиным другие придурки подтянулись, жизнь опять наладилась.

Соседка пришла, с забинтованным носом.

- Странно, - говорит, - на нос гипс положили, а он качается. Не должен же?

Все стали подходить пробовать – правда качается. Я тоже хотел покачать, но страшно. Отломается ещё. Набегут санитары, и всех в угол, кто отламывал…

Не наше это, мужицкое дело, по углам стоять.

68

Она сказала: я храплю. И могу идти на кухню, раз не умею спать как принято в обществе.

А я сказал, не понимает она своего счастья. Никому так не повезло, как ей. Все другие сколопендры грустят в пустыне, никто им не создаёт ауру покоя и уюта лёгким хрюком.

Тогда она сказала, что боится за стёкла, очень сильно дребезжат от ауры покоя.

А потом риторическое, что на всей планете самые грубые, неблагодарные создания – толстые павианы. Они же самые вонючие.

Я ответил, что не знаю. Не настолько знаком с её роднёй, чтобы судить. Сам я из рода тюльпанов, а это другая экологическая ниша, отдельная от низших приматов.

Она стала смеяться, говорить про какие-то лохматые ноги, несвойственные тюльпанам.

А я сказал, что кудрями на ногах от неё заразился.

Тогда она ударила меня подушкой. По голове.

На тринадцатом году брачной жизни прелюдии делаются изысканней.

69

Люся любит путешествовать, потому что вжопегвоздь. Ещё, конечно, дедушка повлиял, профессор физики. Он много читал Люсе о строительстве социализма в Африке. Теперь у Люси неправильное мнение о мире. Будто везде на планете живут добрые негры, которые помогут, если чё.

Я же в детстве читал другие книжки. Например, про 20-е февраля 1945 года. В этот день американцы высадились на остров Рамри, который в Бирме. Причём на острове уже жили тысяча японских пехотинцев. Американцев этот демографический нюанс раздражал. Как бы выражая недоумение, они стали густо стрелять в тысячу японцев. Тысяча японцев побежала прятаться в болото. И там их всю ночь ели крокодилы-антифашисты. К утру осталось всего двадцать японцев. 1000-20=980 японцев съели крокодилы всего за одну ночь всего в одном болоте.

Дальше добрая книжка сообщала, что крокодилы всей земли едят людей со средней скоростью 2000 в год. И лишь в 45-м году этот показатель был сильно улучшен японской армией.

Меня, реалиста, не манит путешествие в страну с такой интересной историей.

А у Люси вжопегвоздь, плюс дедушка. Когда Люся запела про увидеть Бирму и умереть, я сразу ей посоветовал взять экскурсию в мангровые болота. Там, сказал я, воплощаются самые смелые желания.

Бирма далеко. Поэтому Люся села в свою новенькую красную машинку и поехала просто в Польшу. Вжопегвоздь позвал её в дорогу. Вскоре на Люсином пути разлёгся литовский город Каунас, знаменитый своим мостом. Будете в Каунасе, вы обязательно увидите. Даже если ненавидите мосты, вам никуда не деться. Там за каждым поворотом прячется он.

Мчится Люся, видит – мост. Значит, правильно мчится. Дальше – ещё один. Потом едет, едет – и снова мост!

- Не такой уж он маленький, этот Каунас – подумала Люся, – час еду и столько мостов уже встретила.

Потом часы и мосты пошли один за одним, отчего в голове Люси родились две гипотезы:

1. Каунас – огромный город, на треть состоящий из мостов.

2. От присущего всем литовцам желания жить вечно, каунасцы закольцевали пространство и время в районе переправы.

И тогда Незабудкина решила выяснить. И напала на местного жителя в жесткой вопросительной форме. Она подъехала к таксисту и стала махать рукой. Если бы таксист был добрым негром, он бы догадался, эта девушка просто заблудилась. Но литовские таксисты, если

их прижать к бордюру женщиной и помахать, думают другое. Им как бы слышится: «мужчина, всего за двадцать баксов свою персональную гонорею я сделаю нашей общей».

Поэтому мужчина поплотнее закрыл стекло, и помахал в ответ, как бы отказываясь от знакомства.

- Чего он машет, он думает, я с ним здороваюсь – рассердилась Люся и стала делать рукой жесты, будто отжимая стекло таксиста вниз, чтобы он открыл и выслушал.

- Ничего мне от тебя не надо, не снизу, ни сверху – подумал таксист и опять помахал, обеими руками и ещё головой, чтоб нахальная короста поняла его философию целомудрия.

Махали они друг другу, махали, «может пронесёт», подумал вдруг таксист и открыл окно.

- Где у вас центр? – быстро спросила Люся.

Я бы честно показал область мочевого пузыря. Один дядька, тренер по айкидо, объяснял, что центр меня именно там. Но таксист на свежем воздухе стал прозорлив, как психоаналитик. Он понял недосказанное, что Люсю интересует середина Каунаса, прекрасного города множества мостов, пугливых как олени таксистов, пространственно-временных кренделей и заповедной ненависти к указателям направлений.

И он махнул рукой куда-то за реку и вверх, куда можно было добраться только на дельтаплане. Люся конечно же раскинула руки и полетела. Мысленно. Наяву она всё-таки доехала до Польши и вчера только вернулась, ночью. Я узнал её издалека, по маленькой красным глазкам, светившимся из маленькой красной машинки.

Говорит, неплохо съездила. Сегодня будем разжимать ей пальцы, руль выковыривать.

70

Говорил ей:

- Ладно, всё забыто. Хочу как вначале, секс трижды в день, на ужин Шабли и даже в магазин вместе.

Она тараторит:

- Всё окей, но сейчас у меня Таиланд. С Наташкой, пятнадцать дней. Я же с детства мечтала, слоном порулить. Ты знаешь, чем пахнет дикий слон? И что я Наташке скажу, не могу ехать, потому что муж спятил? После Тая – работа на телеке, надо будет смены отработать. И корпоративки. Декабрь, сам понимаешь. На Новый год, кстати меня тоже не будет (поднимает вверх палец, как пистолетный длинный ствол). Потом в январе, в Лапландию, уже проплачено. А ты сам отказался, у тебя театр.

Да и не могу я так, ничего-ничего, вдруг – хоп! Люби тебя с утра до ночи.

Вчера прислала эсэмэску:

«Здесь жара. Запускали в небо фонарики, бегали по джунглям, танцевали с местными на дискотеке. Сегодня будут слоны. Целую. Я.»

Приложил телефон поцелуем к щеке – ничего не почувствовал. Понюхал, хотел узнать запах диких слонов. Китайской пластмассой они пахнут, вот что.

71

Письмо жене, уехавшей в Таиланд за впечатлениями.

Дорогая моя ненаглядная жена.

На письмо, в котором ты просишь поскорей выкупить тебя и Наташку с рисовой фермы, куда вы устроились рабынями, потому что у вас деньги спёрли и нечем платить за гостиницу, спешу ответить тебе, что погода у нас хорошая. С утра был дождичек, теперь развиднелось, к среде обещают мороз. Машка учится хорошо, только копуха. У Ляльки был насморк, зелёного цвета, уже прошёл. По вечерам, за ужином вспоминаем тебя. Особенно, как однажды ты смотрела телевизор, сидя в кресле, и на тебя торшер упал. Смешно.

Кстати о деньгах. Наташку, с её внешностью, можно устроить в антропологический музей. В раздел «ухмылки природы», экспонатом. Это должно быть прибыльно, азиаты любят забавных заморышей.

Целую. Твой кусик.

72

Самое трудное в воспитании детей – найти кулёк с физкультурой. Маша сказала, в пределах жилища есть такой мешок, в нём кроссовки и трико.

Я поделил квартиру на секторы, я ходил по ней цепью, как эсесовцы по партизанскому лесу. Я заглядывал в кастрюли, под ванну и, трижды, в ящик с трусами жены. Простукал стены, на предмет пустот. Ворвался в холодильник, застал там голубцы, лосося и холодец. Получается, последние три дня можно было питаться не только чаем, но и едой. Забавно.

Нашёл старые свои туфли, Ллойд, удобные, как кандалы. В деталях помню, как в 2001-м вынес их на помойку. И вот они вернулись. Надо как-то использовать это умение туфель возвращаться с того света. Завтра вложу записку с вопросами о грядущем и снова выброшу. Может завяжется переписка с каким Наполеоном.

Физкультуру в школе преподаёт опасный монстр. Дети утверждают, это людоед-мужчина. Его зовут Людмила Прокофьевна, но в сознании детей сей казус ничего не меняет. Они говорят: «Людмила Прокофьевна пришёл».

Если до утра не найду кулёк с формой, этот Людмила Прокофьевна меня съест.

На всякий случай, все прощайте.

73

Люся от меня ушла, но как-то не вся, не целиком. Вечерами бегает по квартире голозадая, будто как цыганский табор. Люсин стоп-сигнал сзади похож на знак «бесконечность», кто видел, тот не забудет никогда. При том, говорит, давай останемся друзьями. Нет ничего естественней для взрослого мужчины, чем медленно дружить с розовой после бани женщиной в ночнушке.

Люся надевает ко сну такую, как бы маечку, я не стану подробней описывать этот артефакт. Эта насмешка над моей страстью ничего не скрывает, всё лишь подчёркивает. И сразу делается видно: в Люсе центральное место занимает не гипотетическая душа, а корни ног, так назовём это интересное инженерное решение.

Попа в женщине не главное. Она лишь финал всяких отношений. К тому же, знаменитый немцкий юмор разрушил весь связанный с попами романтический флёр. Если дотянулся до ягодиц и не схлопотал по слюнявкам, значит, скоро придёт пора вкусно курить и спать.

Грудь тоже не главное и не лучшее. Женская грудь ждёт от зрителя точной и убедительной реакции. Лучший наш ответ голой сисе - упасть в обморок от восторга. Женщина сразу начинает верить в вас, как в порядочного человека.

Лучшее в них место, всё-таки, колено. В колене всегда достаточно женщины, чтобы навек полюбить. От самой мысли про поцелуй в этот сустав изнутри мужчина делается мягким.

Вот возьмите некрупную, белую коленку, поднесите к мужскому лицу и говорите ни о чём. Через полчаса подопытному станет всё равно, сколько у вас носов, что вы кладёте в винегрет, и насколько ваша мама злее всех на свете гарпий. Простой здоровый музыкант предложит вам жениться тут же, на диване, и многократно.

По колену сразу видно, кто эта женщина, добрый ангел с доверчивой попой или чёрствый дэмон.

По щиколотке тоже многое видно, но надо дольше смотреть. Ещё есть запястье, локоть, шея. Вообще, женщина в местах сгиба красивей, чем на ровных участках, я заметил.

А сначала я планировал рассказать про фигурное катание, это сегодня единственный доступный мне вид секса. Вот, собственно, всё и рассказал.

74

За дорогой открыли кулинарию. Курица в кляре, рыба в кляре – всё в кляре. Продавщица тоже в кляре: мягкая, жёлтая.

Бегаю туда пригнувшись, как зек за баландой. Или, как к паровозу – за кипятком.

Нет бы гордо начистить картошки, порезать селёдки, лука… Чтоб мои домовые гордились и хвастались другим домовым про запахи моих кастрюль.

Бордель бы лучше открыли. Я б боролся с нахлынувшей страстью к павшей женщине Зинаиде, не толстел бы и сберёг бы желудок. И было бы о чём писать.

А бороться с полусырыми котлетами на машинном масле – ни славы, ни творческих прозрений. И мемуаристы уложатся в две строки с этим периодом моей жизни:

- Было ему лень готовить. Он челночил до кулинарии, покупал там развесной гастрит по два рубля за колику. Желудочные рези и станут основным посылом к творчеству прозаика в следующие семь лет…

75

Моя бывшая, когда не злилась, бегала по квартире без трусов. Ей очень шло такое весёлое настроение. Я с нежностью вспоминаю её тощий зад, он служил мне символом домашнего уюта.

В детстве толстый Толик говорил, Слава, не верь голым женщинам. Они непостоянны. Я ж его не слушал. Теперь развожу хомячка и сам себе готовлю несъедобные блюда.

Равномерно заляпанная кухня ничуть не уступит тощей заднице, если смотреть на неё как на символ уюта. Меня даже радует абстракционизм в кухне, сразу видно какой я милый и полезный в быту.

В кулинарии у меня есть принципы. Например, ненавижу мелкую морковь. Она что-то во мне задевает, такое. Сразу хочется спорить, что не она в мужчине главное. Вообще всё продолговатое, я считаю, должно быть большим. Мне нравится морковь, которую можно носить на плече, как дубину, как зенитную ракету. Тру её на тёрке, потом выбрасываю. В холодильник она уже не лезет.

Помидоры я выжимаю. Когда в доме есть сильные мужские руки, нелепо пачкать мясорубку. Единственный минус, они плюют в потолок. Чтобы помыть, приходится много прыгать.

А в прошлом году нашёл в электричке книжку, детектив. Там, на 145-й странице героиня варит «борщ кубанский», очень доступно. Это был технологический прорыв. Начиналось всё словами «Полина нажала на курок и грохот выстрела сотряс».

В середине страницы, обжаривая лук, Полина вдруг понимает, кто изнасиловал Бориса. После этого остаётся утопить капусту, выключить и неделю можно не готовить. В конце автор сообщил, «борщ вышел отменный, Пётр съел всю кастрюлю».

Я сделал всё по тексту. Попробовал и подумал примерно следующее:

«О боже. В детективах ни слова правды. Это рецепт ужасной отравы в говяжьем бульоне. Или же Пётр до 145 страницы питался берёзовой корой и ворованным сеном. Как лось зимой».

Не передать, до чего разочаровала меня женская проза.

Причём был Новый год, я ждал гостей. Не просто разнополых, а даже с голыми плечами. Мне казалось, фраза «а кому борща, новогоднего» добавит мне очков. Женщины посмотрят на меня с интересом. Но не вышло. И я спрятал этот жидкий стыд, этот символ лицемерия и ложных ценностей современной литературы. Запер в холодильнике.

Гости спорили чей подарок бесполезней. Уронили в танце ёлку, смотрели телевизор, там Орбакайте надела неудачные ноги. Как обычно. Под утро слышу, на кухне чего-то жрут. А это три отдельных гостя лопают мой борщ.

И говорят:

- Всё-таки отличные супы твоя мать готовит.

Я говорю,

- Так это ж я, я всё делал!

Они смеются. Вспомнили мифические бутерброды, вроде тоже мои, их отказался есть ротвейлер, который до этого кресло съел. Потом пришли другие гости, и в каждом сидел отдельный зимний лось Пётр. Все дружно ели и согласились что я врун. Одна лишь Таня (отличные, просто отличные коленки) сказала:

- Может и не врёт, подозрительно много морковки.

Удивительной красоты и мудрости девушка.

Мы потом стихи читали с табуретки. Это новогодний рефлекс, из детства.

Я прорыдал «В рождество все немного волхвы»

А Таня сказала, я прочту вам кулинарный стих, новогодний.

И прочитала. С табуретки.

Стих.

Возьмите половину рябчика, две картофелины. Огурец, три салата. Полторы столовых ложки майонеза провансаль. Раковых шеек – 3 штуки. Ланспика четверть стакана. Чайную ложку каперсов, три оливки.

Нарежьте филе изжаренного хорошего рябчика и смешайте с бланкетами отварного, не рассыпчатого картофеля и ломтиками свежих огурцов, прибавьте каперсов и оливок, залейте большим количеством соуса провансаль, прибавьте сою-кабуль. Остудив, переложите в хрустальную вазу, украсьте раковыми шейками, листиками салата-латука и рубленным ланспиком. Подавать очень холодным. Свежие огурцы можно заменить крупными корнишонами. Вместо рябчиков, можно брать телятину, куропатку и курицу, но настоящая закуска оливье готовится непременно из рябчиков.

У меня в машине январь, мороз и полнолуние. Электричество замёрзло. Или вытекло всё, не знаю. Подвозил до дома одну талантливую женщину с красивой попой и трудной судьбой, эта трудная судьба, наверное, заразна, передалась генератору.

- Я вам тут не Днепрогэс – сказал генератор и повесил трубку.

Его товарищ аккумулятор вначале был прям огурец, клялся дотянуть до леса и дальше, потом тоже соскучился. Сперва потемнели приборы, печка дышала, дышала, потом всё. Последними погасли глаза. Докатился в темноте, используя накопленную инерцию и угрозы небесам в матерной форме. Воткнул лошадь в сугроб мордой, сегодня ходил смотреть, они срослись там в одну Джомолунгму.

Осваиваю общ.транспорт. Очень интересно. Оказывается, в Риге живёт полно людей с красивыми женскими попами. Они медленно ездят в трамвае, долго болтают по телефону и не думают, что за полтора часа можно успеть чего-то построить, посадить и вырастить. Буддистки.

А у меня две недели репетиций в театре, я сантехнику на гвоздь повесил, буду ездить к обеду - бренчать, болтать, курить. В театральном буфете, ещё такие пироги с капустой, очень психотерапевтические. Чистый парадиз намечается, ей-богу.

Потом, конечно, пойду, раскопаю ледяной гроб, поцелую спящую засранку в лоб, в бампер и куда там ещё она попросит. Потому что карма.

А вообще, надо что-то менять.

77

В юности я работал музыкантом, был замечательно холост и носил муляж обручального кольца. Так поступают многие музыканты, для сексуальной безопасности. А басист не носил. За это его каждый вечер насиловали в туалете. Сначала он радовался, а потом заболел какой-то гнусью и разачаровался в любви.

И вот я повзрослел, отвратительно холост и не умею готовить. И жалею, что тогда носил кольцо. А родные дети зовут меня «мой пузатый карапуз».

То есть как не умею готовить. В моих кастрюлях встречаются пищевые эманации трёх видов: условно съедобные, несъедобные, и борщ.

Зато у меня не толстые дочки.

Иногда, для утешения, беру в гастрономе шницели, они отличные. Их можно прикладывать к синякам или запирать в холодильнике. Со шницелями холодильник выглядит полной чашей. Они меняют цвет, от понедельника к субботе. Юннатам нравится такой феномен.

Пару раз я их ел. Похожи на мой борщ, только в сухарях.

Из раскладушки кто-то тырит пружинки, отчего раскладушка бесконечно стремится стать гамаком. От души провиснуть в ней мешает близкий пол. Но если спать животом вниз, даже удобно.

И всё равно, всё равно.

Ангел мой утешитель, мне грустно, меня не греют твои шницели.

78

У меня была знакомая девочка, Таня.

Красивая. В её честь мальчики устраивали гонки. Победитель получал приз – женские истерики по утрам, на завтрак. Проигравший клялся не мешать, раз сам не умеет ездить.

Победил Илья, он доехал. А Ваня разбил папин форд и тем излечился от любви.

Таня любила котиков. А мальчиков не особо, из-за их избыточности. По крайней мере, она ни разу не привела в дом мальчика с поломанной ножкой, больными глазками и прочими милыми нарушениями здоровья.

Ну и вот. Таня встретила на улице подходящего для любви котика, с очаровательным изъяном. Кто-то откусил ему бочок. Оттуда всё время вываливались какие-то детали.

Таня привезла свою находку мне. Она сказала, раз у меня уже есть один, значит там и второй.

Мой кот сразу понял, его предали. Он залез на шкаф и стал оттуда плакать. Слёзы капали на ковёр и прожигали дыры. Честно.

Приехал ветеринар, надел перчатки, сложил что вывалилось назад в пузик. Прямо медицинским своим мизинцем. Зашил, забрал весь мой кошелёк и уехал. Таня стала падать в обморок. Ей показалось, настал удачный момент. Красивой девушке вообще идёт полежать без чувств, товарно выгнув ноги. Я ставил ей компрессы на лоб.

То была ужасная ночь. Во всех углах страдали милые мне существа. На шкафу мой старый кот, под столом новый, на диване красивая Таня.

Нового кота назвали Варя. Он оказался женщиной. Какал исключительно в домашние цветы. Я тогда ещё удивился, насколько женщины обожают любые цветы, по кактусы включительно.

Варя выросла и однажды ушла по карнизу навстречу женскому счастью. Позже я видел её в компании с котом-бандитом Николаем. Судя по лицам, они шли в магазин.

Морали в этой истории нет. И развязки тоже.

Я рассказал её, потому что в доме пусто.

79

Ездил в Москву грустить. Думал, буду бродить, жалеть себя. Может, напьюсь.

В первый день встретил Марину, мы с ней переписываемся. Она похожа на счастливую птицу и всё время целуется. Главный её изъян – муж по фамилии Попов. Мы с Мариной целых двести метров шли, обнявшись. Марина придумала мной дразнить своего Попова. Это были лучшие двести метров за последний год. Я даже надеялся, что Попов меня зарежет и я умру из-за любви. Но муж по фамилии Попов сказал что слишком они меня уважаеют, всей семьёй.

Как-то я неправильно живу.

В день второй пришёл Женя. Журналист. Купили пива и отправились искать где там фестиваль в Коломенском. Помню, было жарко, лезли в гору сквозь сирень, потом ехали на жопе вниз, потому что гора попалась вертикальная, а пилить лестницу было нечем. Говорили при том про сиськи. Потом пили, пели в забегаловке громче кофейного аппарата, погрустить опять не вышло.

В третий день пришла Катя.

Красивая. Курит, матерится, ходит в кедах. При том ангел. Рядом с ней, хоть безгрешен как монах, даже лук не ем, всё равно я чудовище. Так и гуляли по Китай-городу. Красавица и Я. Было невыносимо грустно, даже хуже чем планировал сначала.

80

- У меня, между прочим, язык рождён для орального секса. Я могу языком мух ловить. В полёте. Мне хамелеоны завидуют.

Так я сказал ей одними глазами.

- А я тебя всю жизнь ждала – ответила она, тоже одними глазами. И добавила, уже другими глазами:

- Пойдём в парилку?

- Не могу – устоял я. Мне запрещено применять своё страшное искусство против беззащитных секретарш. Тем более в бане.

У шефа новая секретарша. Латышская женщина Иветта. От песен советского кинематографа всё в ней делается горячо и упруго. Я спел «вагончик тронется, вагончик тронется» голосом Барбары Брыльской. Иветта в ответ множественно меня поцеловала, неприцельно. Куда бог пошлёт поцеловала. Стало очевидно: нынче меня ждёт ужасный успех. Ели вы приняли «ужасный успех» за безграмотность и тавтологию, значит вы не видели Иветту.

Она села рядышком, почти на меня, спросила:

- Ничего что я такая некрасивая?

У мужчин принято горячо возражать. Я не был настолько трезв, чтобы врать, но и не настолько был пьян, чтобы обмануться.

И ответил невежливо:

- Ничего, я тоже не Пирс Броснан.

Она сказала, ей нравятся дерзкие. И потрогала меня грудью. И положила руку на плечо. И запела многозначительным басом «ты меня на рассвете разбудишь».

Первый тост говорил шеф. С новогодним пафосом, из положения «стоя».

- Мы, короли дерьма и пара...

Сантехники за столом одобрительно кивнули.

Иванов рассказал историю про Булочкина. Булочкину велели позвонить, успокоить клиента, сказать, что обещаный с утра мастер будет к обеду.

Телефонный Булочкин был учтив.

- Простите – начал он издалека – вы ещё не заебались ждать?

Потом мы пытались создать в бассейне резонансную волну, чтоб выплеснулось и затопило нижний этаж. Для смеху. Ещё сломали душ и оторвали дверь в парилку.

В общем, всё как у людей.

81

Барды нормальные люди, просто не давайте им петь. Знакомый автор песен Юрий однажды убил своим творчеством живое существо. Это было в гостях. Юрий запел про костёр, палатки и полные трусы дождя. И ровно через 4 секунды сдох хозяйский попугай Алёша. Упал с холодильника башкой вниз, будто свинцовый. Ушёл, не дослушав припева. Юрий потом шутил про силу искусства, но как-то растерянно.

Съездил я, братья, на этот их Грушинский фестиваль.

В самую, прости господи, клоаку. По цене пражского отеля арендовал тамбур в палатке. То была двухместная палатка, в ней жили кроме меня авторы Саша, Серёжа и пицот миллионов муравьёв. А может, сиксильон, я плохо считаю огромные цифры. Три квадратных метра в 27 слоёв, смотрите сами.

И вот. Весь этот дружный коллектив (кроме Саши и Серёжи) на ночь вползал ко мне в спальник и спал, свернувшись в сиксильон калачиков.

Они меня не ели, не унесли и не выбросили в Волгу, хоть могли б. Они гибли дивизиями, если я крутился во сне. Лишь мужественно хрустели, на прощанье. Думаю, это бардовская песня воспитала в муравьях презрение к смерти. Или даже тягу к суициду.

Из удобств палатке полагался двухдырный туалет модели «будка над бездной», в пределах прямой слышимости. Товарищи! Эти барды, когда какают, всё равно поют!

Пока я выживал, Саша стал лауреатом. Вопреки моему божественному аккомпанименту. Понимаете у Саши такой баритон, лауреатский. Женщины с него натурально плачут мокрыми слезами. Саше дали медаль. Меня тоже поймали и обмедалили, как соучасника. Спаси теперь, Господи, мою душу.

Ходил на Гитару, смотрел на Гору, для тех кто Понимает.

Помню только, было скользко и третья струна сползла на четверть тона.

Видел живого члена жюри Наташу. Кажется, даже трогал её руками. Красивая и неприятно замужняя. Целовался с известным бардом Леной. Но как-то впопыхах, не вдохновенно.

В общем, хорошо съездил.

82

У Сани в Москве дочка. У дочки огромная кухня, на кухне трёхспальный диван. На диване жил я, вокруг меня была еда, в той еде моя погибель.

О, это изощрённое гостеприимство, селить гостей в пищеблоке. Не сходя с дивана я ел, спал и читал дневники Булгакова. Очень удобно. После завтрака можно было терять сознание сразу до обеда. Потому русский завтрак, он для латыша гибель.

Вообще, русские едой проверяют, друг ты или нет. Отказаться нельзя, хозяйка обидится, отберёт диван.

Ужин наступал в полночь и начинался с борща. Потом пирожки, которые едой не считаются. Пирожки - это способ не скучать, пока греется второе. На второе овощи, мясо. Вино.

В два часа ночи уже казалось всё, победа. Но Олесечка, дочка, доставала из воздуха мясной рулет. И тортик. И ещё под столом в прятался арбузик.

Я взглядом объяснял, моя миссия на земле совсем другая, внутри меня нет места рулетику. Во мне уже котлетки, супчик, пирожки и яблочки. Рулетик – говорил я глазами - пусть возвращается откуда пришёл, в нуль-пространство. Иначе я взорвусь и запачкаю обои.

Олеся говорила, моё кокетство неуместно. Хотя бы кусочек, крошечку. И роняла в тарелку такое, похожее на тунгусский метеорит.

После ужина устраивали музыкальный вечер. Папа и дочь, как в детстве.

Олесин муж, продюсер фильмов, придумал всё запечатлеть. У него работа снимать про любовь и семейное счастье. Он отлично всё умеет. Он светил как осветитель, гремел как декоратор, плевал в камеру как оператор, ругался матом как режиссёр и бегал туда-сюда как девушка с хлопушкой. Я не подозревал, что в кино так интересно.

Посмотрели первый дубль. Оказалось, у Олеси слишком голые ноги. Роман, как муж и продюсер, потребовал надеть более траурный костюм. Или сложить всё каким-нибудь приличным узлом, хотя бы. Олеся - жена вредная и в то же время ногастая. Сказала, - что за глупые предрассудки. И с ней было трудно спорить.

А Рома очень темпераментный режиссёр. Он вспылил, сказал что порнографию снимать не станет.

Эта мысль понравилась Олесе. Женщины с хорошей фигурой, я заметил, очень лояльны к порнографии.

Поскольку других прекрасных актрис под рукой не было, Роман рассердился на занавески. Их пришлось оторвать и выбросить. Потом три дубля по-дурацки мигала свеча. Потом другая свеча стояла на окне совсем как у одного режиссёра из Таиланда, это же кошмар, вы понимаете.

Было много дублей. Выбрали самый прекрасный, пошли спать. Утром Рома стал смотреть и закричал - О боже!

По возгласу было ясно, кто-то нервный ночью выпал с балкона, пролетал мимо окна и своим идиотским туловищем испортил нам фильм. Мы побежали к Роме, стали спрашивать - где, где, где всё пропало.

И Рома показал на экран - вот тут, Слава головой мотает!

И правда, на 46-й секунде за Сашиным ухом качается тень, это я танцую головой.

Так я попал в мировой кинематограф.

83

Маша достигла новых вершин в изобретении хитровыгнутых вопросов.

Передаю прямую речь:

- Папа, а наш кот уже думал о неизбежности грядущей смерти? И если да, то уже успел смириться?

Уверен, что да. Прыгать со шкафа мне, спящему, на мою спящую спину, может только глубоко смирившийся кот.

Маша привела какие-то непостижимые для простых сантехников рассчёты. По ним выходит, будь он человеком, ему было бы 10 лет. А Маше только 8. Поэтому сама она успела лишь осознать, но пока ещё не приняла. Но планирует в ближайший месяц.

Чтобы отвлечь растущий организм от декаданса, я сказал: если немецкий не будет выучен за час, возьму ремень и смирение наступит уже сегодня. И простые детские заботы, (как бегать вокруг стула с такой скоростью, чтоб стать неуязвимой, например) прогонят мысли о краткосрочноти цветенья вишен.

Тогда Маша взяла лист, написала семнадцать русских слов и семнадцать немецких. И нарисовала рядом меня, хоть меня не задавали. Это прикладное детское шаманство, рисовать ужасное не страшным и, тем самым, избежать.

На картине я представлен добрым египтянином, с глазом вбок. Я небрит, улыбчив, у меня коротенькие лапки, вторичный признак дырявых зубов.

С точки зрения психологии это значит, меня здесь никто не боится.

84

Володька взял и умер. Гуляка, бабник, я люблю его. Второй день реву как восьмиклассница. Это самый идиотский подарок мне на день рождения - умереть. Я и не собирался праздновать, сорок не празднуют, и совсем не обязательно было вот так.

Дорогой русскоязычный читатель, ты не представляешь, как все тут любят Володьку, жена и другие женщины, которые его не досталось. Они все знали друг про друга и ночами плакали от счастья что он такой.

Он вдруг скинул аккордеон, выбежал на улицу, стал кричать, как приличные люди никогда не кричат, потом потемнел и сник. В скорой был уже без сознания и через два дня всё. Божье чувство юмора ужасно неисповедимо. На мой взгляд, в мире полно более достойных персонажей.

ТАМ, в СИРЕНЕВЫХ СУМЕРКАХ, из тех, кого люблю-люблю, у меня бабушка, и теперь вот, Володька. Если я туда перееду, пусть меня встретит он, а не косматое чудовище Пётр.

Мы обнимемся, он скажет, пойдём, споём чего-нибудь, а потом познакомлю тебя с Наташей (иногда кажется, в любой точке вселенной Володьку ждёт своя отдельная Наташа), и ещё, тут в одном месте такие чебуреки, до слёз. Я обзову его свиньёй, что бросил меня одного и всё опять наладится.

85

Кто выбросит ёлку в январе, тот параноик. И жалкий раб порядка. Решительный хозяин сушит ель до образования хрустящей корочки. Это единственный способ однажды в марте засыпать зелёными иголками коридор, лестницу и ещё в дверных проёмах насыпать холмики.

Хорошо выдержанная ель к мусорнику приезжает гладким рыжим скелетом. Подмести за ней подъезд не сложно, это каких-то сто тысяч взмахов веником. За время подметания можно подружиться с соседями, соскучиться по домашним. А некоторых даже забыть и потом по любви жениться на незнакомке, удачно проживающей в вашей же квартире.

Кроме социального, никакого смысла в подметании лестниц нет. Всё равно иголки будут выползать из ниоткуда, как умирающие, но в целом бессмертные тараканы. Это их романтическая миссия, до августа напоминать про последний ёлкин путь.

Есть, впрочем, старый индейский способ - бросаться ёлками в окно и в ночь. Мало кто знает, как исполнять эту традицию.

Одни говорят, надо дождаться темноты, и со словами «господи, я не виноват» швырнуть ёлку два раза в батарею, потом уже попасть в окно. Если окно было со стеклом и закрыто, гадание на ёлке считается законченным. Если всё выбито ещё в том году, ответ на вопрос нужно искать в подсказках с улицы.

Другие наоборот, говорят, ёлками в окно бросаться надо по направлению в квартиру. Благо, немало этих красивых деревьев сейчас набросано по мусорникам.

Вот Оленька спрашивает: зачем ты, Слава Сэ, ахинею пишешь?

А у меня Лялька заболела, сижу дома, варю макароны, смотрю, как стиралка внутри себя узоры из простыни складывает. Час уже, а красиво ни разу не получилось. Рожать литературу» при таком засильи быта стратегически неверно. Другое дело наплести, как ёлка высохла, отопление подорожало, маринады съедены и, в целом, зима состоялась.

86

Наш санаторий снаружи как дворец. А изнутри как брошенный амбар под Пензой. Темно в нём, сыро и одиноко. Лишь шакалит по коридорам индийский миллиардер. Не призрак, живой.

Вот однажды спускается миллиардер в заповедные санаторные подземелья, а там лично я сижу на ведре, курю. Испугал меня, конечно. В чёрном-чёрном подвале вдруг чёрный-пречёрный миллиардер, такое не сразу забудешь. Подходит, вежливый весь, спрашивает по-английски:

- M?

В переводе с английского "M" значит:

- Я купил санаторий за два сундука денег. Я мечтал сотворить здесь прохладный рай, чтоб из Индии на лето прилетать с индюшатами. Но в вашей стране никто не делает евроремонтов «под рай», три строительных конторы расфигячили годовой бюджет Камбоджи, а тут по-прежнему пусто и тёмно, как в амбаре под Пензой. Меж тем, ваше правительство сказало мне по телефону:

«Оставишь на зиму памятник без отопления, заставим ещё и тюрьму купить, не сидеть же тебе в государственной. Через час приедет комиссия по насыщению латвийских каторг индийскими миллиардерами, что мы скажем ей, о величайший из сантехников, владеющих искусством курить, сидя на ведре?

Так спросил миллиардер и посмотрел мокрыми индийскими глазами на меня и на окружающий мороз. И столько было внимания, столько ласки в его «М», что я ответил развёрнуто:

- Я тут развесил семь километров труб и полтыщи радиаторов. Я вдохнул два мешка цемента и теперь меня не берёт кокаин. А в вашем подвале болото по пояс и кто-то плавает в нём, скользкий, опасно толстый. И варить трубы там очень страшно. Особенно, когда кто-то в темноте осторожно кусает за попу.

Ещё вода в кране пахнет мезозоем и химики компании Липтон не в силах превратить её в чай. Только в чачу. Огромные местные крысы отнимают у нас, что захотят. Даже обрезки труб, говорят, что на зубочистки. Нас они не жрут, потому что сантехники мельче коров и визжим, если укусить.

А ещё, на глазу ячмень и родная жена ушла к режиссёру. У жены шесть знакомых режиссёров и все - Аполлоны, ни одного с ячменём или, хотя бы пузатого. Подозреваю даже, эти режиссёры не какают, такие у них талантливые лица. То есть шансов на любовь у меня – ноль. А я, как назло, в этом году непрочь.

И теперь невроз – моё второе имя. Поэтому, если всякие тут обезьяны будут мне М-ыкать, я возьму ацетиленовую горелку и выжгу на их левой ягодице фас безвременно сбежавшей жены, а на правой - профили всех шести её режиссёров. И будет эта задница чемпион по красоте среди всех миллиардерских задниц.

Так и сказал. Только по-английски:

- Афтер уан оур хера вил би варм эднд бьючифул. И повернул задвижку. Всё было готово, как раз. В общем, душевно так поболтали.

87

Не умеете ли вы варить супы так, как не умею их варить я?

Мне сказали, тут всё дело в интуиции.

Однажды под руководством интуиции я наколдовал целое ведро вонючей жижи.

Пробовать никто не захотел. Даже мамин ротвейлер струсил. Он уполз от миски жопой в дверь. А ведь бывало, камни жрал.

Тогда я применил точный расчёт. Нарыл рецепт Божественного Борща, весы, хронометр, спланировал каждое движение, забрызгал кухню в цвета весеннего болота - але оп!- готово новое ведро, круче первого.

Если б смех ротвейлера считался признаком успеха - это был бы самый успешный суп нашей с вами современности.

Но вот, настало Сегодня.

Сегодня всё было наверняка. Оружие победы - две банки готовой солянки, их только в бульон всыпать.

95 минут варил говядину, всыпал, размешал, понюхал и как-то сразу понял, чем можно было бы повернуть вспять коней апокалипсиса.

Мамин ротвейлер, кстати, умер год назад. Загодя. Как знал...

Я верю, в лабиринтах канализации живут мохнатые зелёные монстры, добрые внутри. Они-то меня любят, зовут кормильцем и благодетелем.

88

Маша учится в немецкой школе. Получила цвай за диктант. Ходит мрачная и торжественная.

Когда-нибудь об этом периоде её жизни я напишу книгу:

«Формирование нордического характера, или Восемь способов помыть посуду арийской девочкой».

В третий день исправления трудом говорит:

- На человеческой шее есть такая точка, если на неё надавить – сразу глаза вылезут. Нам учительница пения рассказала.

Зная теперь, что в их школе проходят по пению, боюсь представить их программу по физике.

89

Бард Александр песню сочинил, из чего сразу понятно: подлец. Позвонил в ночи, чтобы проверить на мне своё аллегро мистериозо.

О! Вы не представляете, как беспощадны бывают барды к людям уставшим, готовым уже лечь в постель. Барды выползают из чёрных телефонных шорохов, когда гадостей сегодня больше не ждёшь. Они могут за неделю натошнить триста новых песен и потом петь их всю ночь, прямо вам в мозг.

Песня попалась приличная, кстати. Куплеты не длинные, того и гляди всё кончится. И звук в телефоне хороший, будто кто-то жалобно помирает за озером, вдали.

Но в районе восьмого куплета Александр роняет телефон, от волнения. Я слышу шум, треск, и вдруг далёкий его голос:

- Слава, ты где! Ты где, Слава! Аня! Аня! Я телефон уронил, со Славой. Не могу найти!

И прямо слышно, прибегает Аня, дочка, 20-ти лет. Сероглазая, в халате. И оба они куда-то лезут, под столы и тумбочки, пыхтят и зовут меня по имени. И так это трогательно, так приятно, что красивая Аня обо мне заботится. Меня теперь редко ищут вот так, под тумбочками, нецелованные в колено шатенки. Представилось даже, это я сам закатился, пластмассовый, беспомощный, ни ручек, ни ножек нет, безутешно моргаю кнопками, зову их слабым голосом:

- Саша! Аня! Я здесь! За кошачьей миской!

Отзывчивая Аня нашла меня и вытерла о халат, судя по звуку, где-то в области подмышки. С тех пор всё думаю о телефонах, йоркширских терьерах и всех, кто живёт, судьбой прижатый к молодой и тёплой сисе. И всё из рук валится.

90

В костюме вспотевшего отца ходил на утренник.

Было просто и мило, снежинки и зайцы. В секс-шопе купили партию заячьих ушей розовой масти. Два мальчика пришли в костюмах пауков, им тоже выдали уши, родители улыбались в их сторону несколько иронически.

Воспитательница представилась феей зимы. Она уже много лет пример детям, что делает с людьми хороший аппетит, она была фея – дирижабль, родители в страхе поджимали ноги. В середине праздника от хвоста феи отпало перо, снежинки бросились с криком «чур моё», стали драться, иногда ногами. На миг закружилась как бы красивая метель. Чёткими командами «встать в строй», «фу, дрянь какая» и «выплюнь каку» родители разогнали непогоду. Это оказался хороший и дешёвый способ, не то что облака серебрить серебра аммонием.

Зайцев перо не взволновало. Другое дело, если бы из феи выпал танк или гвоздь. Была бы битва зайцев, тоже отличное зрелище. А так лишь одному за весь праздник наваляли, и то по любви. Он был в костюме каратиста, снежинка Алиса его за это полюбила. На ней самой было фантастическое платье, расшитое боем ёлочных игрушек. Чтобы как-то привлечь внимание, снежинка выписала зайцу три пендаля подряд. Но острые края её украшений выглядели вредными для здоровья, заяц не решился ответить взаимностью. Лишь подставлял вторую ягодицу, получив по первой. Он был каратист и христианин одновременно.

Лялю этот праздник добра и взаимопонимания вогнал в зевоту. Она ушла в родительскую ложу, забралась на колени и смотрела на суету вполглаза, ногу на ногу, ждала конфет.

Конфеты – отличный подарок, лучше чем переводные картинки. Ляле кто-то нехороший подарил такие и я проснулся однажды утром весь в слюнях, пингвинах, львах и жирафах. В праздничном убранстве, так сказать.

Конфеты лучше. Как доедим последнюю карамельку, сразу зима кончится.

91

Ляля по утрам очень капризная. Не хочет надевать, что даёт отец. Хоть у отца отличный вкус. Отец всегда выбирает красивое, а главное, тёплое. А Ляля хочет безумств. Каждое утро она не ребёнок, а какой-то Пако Рабан. Подавай, например, ей трусы с единорогом впереди. Я говорю, божемой, Ляля, кто увидит там твоего единорога?

Но у женщин самоощущение. Поверх хороших трусов женщина наденет что угодно, хоть рыбачью сеть, хоть осенние листья. А на плохие трусы, некружевные, драные, без единорогов, даже бриллиантовое платье не хочется. В стыдных трусах ты уже не принцесса всяко. Например, на мне сейчас такие трусы, что сразу ясно: перед вами не принцесса.

Каждое утро мы недопонимаем друг друга, как Давид и Голиаф. Вы не представляете, насколько беззащитны мы, Голиафы, перед маленькими хитрозадыми Давидами! Хуже всего, Ляля твёрдо знает, что надевать, но у меня нет комплекта трусов с большой энциклопедией сказочных существ на каждый день.

Обычно это так: я приношу из шкафа красивое, а главное тёплое, а Ляля негодует отставленной губой и пр. Я, говорит, хочу – и называет что-нибудь вычурное, невероятное. Например, семь лошадок на майке. Тода я убегаю в шкаф, там плачу и мечтаю чтоб скорей она скупее стала в желаньях.

Но недавно я сказал:

- Ляля. Если наденешь что дам, ведь оно тёплое, хоть и красивое, а это главное, я дам тебе фонарь, ты сможешь идти и освещать нам путь, как не знаю, паровоз настоящий.

Ляля подумала и согласилась. И молча надела трусы с банальными хризантемами спереди, кружевами вокруг ног, спереди бантик с сапфиром, фон из голубых сердец, проступающих как бы из тумана.

Конечно глупо, когда взрослый сантехник петляет мимо дороги за фонарём и девочкой, так мало похожей на паровоз. Ляля не умеет ровно держать фонарь, а идти надо было где освещено, таковы правила, поэтому мы качаемся от кустов к забору. Зато всё быстро одето, обуто и выйдето из дому.

Четверг у меня выдался вредный для здоровья. Потом расскажу. Главное, глаз распух, правый. Стал как растение помидор. Не, как око Саурона. А на лбу шишка.

И сразу ничего не глупо, по утрам-то. Просто ребёнок-поводырь вёдет убогого отца в ночь и неизвестность.

Если честно, это было не самое заветное моё желание, выглядеть естественно с фонарём и подбитым глазом в семь утра между кустом и забором. Например, мне хочется ещё больше денег и любви с женской тётькой, некрупной, можно в чулках. От себя могу предложить прекрасный куриный суп.

И, раз уж мы заговорили о Новом годе, пусть блохи перестанут кусать нашего инженера Андрюшу, а всем людям и их детям, щастя, конечно.

92

Когда чёрный-пречёрный сантехник бежит по чёрному-пречёрному подвалу, он обязательно во что-нибудь врежется. В этом весь смысл.

Например, вчера я с разбегу сломал железную трубу, головой. И сразу в потолок ударил прекрасный, хоть и неуместный в подвале фонтан. Это было как признание торжества моего интеллекта над их водопроводом.

Вечером читал премию Дарвина. Там тоже про героизм и сражение со стихией. Например, один цирковой лиллипут прыгал на батуте, а невдалеке зевал бегемот. И акробат упал прямо в зевок бегемота. И пропал там навсегда. Так, по жестокой иронии, один артист съел другого артиста. Эти бегемоты, оказывается, не умеют выплёвывать цирковой реквизит. Ни мячики, ни обручи, ни акробатов, ничего не отдают. Поэтому, если вдруг фатально не заладилось с батутом, просто ползите вперёд. Вы непременно увидите свет в конце бегемота.

(загрустил чота)

Или вот ещё, понравилось. Один бразильский священник решил перелететь свою Бразилию на шариках, привязанных к стулу. Взлетел, но ветер унёс стул в океан, вместе с содержимым. Премия Дарвина решила, что аэронавт помре, а я не согласен. Может, он до сих пор летит в сторону Австралии, ловит руками вкусных чаек и запивает дождём. Прикуривает от молний.

Или одна бабушка рассказала, про любовь. Юноша Никита влюбился в водителя трамвая Катю. И стал вагоноважатым, чтобы иметь с Катей больше общих интересов. И однажды его направили на Катин маршрут № 10. Весь день они ездили неподалёку, но объясниться не получалось. И вот приезжает Никита вечером на кольцо, там Катин трамвай стоит, манит обводами. Никита заходит в дежурку, и

– О МАДОННА, как выражаются трамвайщики Неаполя –

Катя отдыхает на коленях слесаря Георгия и видно по лицу, думает о продолжении рода.

Никита вскочил в первый попавшийся Катин трамвай и погнал куда фары светили, весь в слезах, что характерно. Ему хотелось умчаться в степь и там замёрзнуть. Никита разогнался, сошёл с рельс и чуть не убился о памятник латышским стрелкам, что по драматизму даже лучше чем степь и мороз.

Никиту не уволили. В тот год у нас не хватало водителей трамваев. Сход с рельсов оправдали непогодой. Осень, сказало себе руководство, трамваи в листопад ужасно неуклюжие.

Его немножко только обматерили и послали в санаторий отращивать новые нервы. В санатории Никита встретил Иру, Юлю и Снежану, которых нам хватило бы на женский роман-трилогию, но лень писать.

93

Алексей Леонидович написал удачную песню. В ней сплошь серьёзные чувства, трепет первого касанья, голые ноги и всё что бывает хорошего в этих ваших внебрачных связях. Зазвучав внезапно, такая песня очень действует на женщин.

Один человек чуть даже не развёлся с помощью этой прекрасной песни. Он повстречал мадам, на улице, под дождём, без машины. И стал подвозить бедняжку. Ведь бескорыстная доброта спасает мир. Поэтому разумный человек не должен упускать возможность спасти мир в лице молодой, промокшей женщины.

Едут они, едут. Как вдруг магнитофон запел эту волшебную песню. Незнакомая женщина дослушала до слов, в которых любовь побеждает предрассудки и ка-а-ак прыгнет на водителя!

Очень удачно в женщине случилось полно положительных черт. Незнакомка как бы соткана оказалась из ресниц, голых коленок и выпуклых грудей. Если не понимаете в чём тут счастье, повстречайте на жизненном пути кого-нибудь с вогнутой грудью. И попросите на вас прыгнуть. Вы поймёте, насколько это не то. О вогнутую, краеугольную тётьку можно поранить психику на всю жизнь. Особенно в прыжке.

Домой этот удачливый водитель вернулся через два года. Срок действия песни истёк, наверное. Писать на подольше Алексей Леонидович пока не научился, он лишь начинающий шаман. Сейчас он работает над песней, принуждающей соседей мыть вашу посуду. Обещал, что хватит на пять лет. Это будет передовая песня, с использованием нано-аккордов и нелинейных рифм. Уже готовы песни-подметалки пола и песни-просилки зарплаты у начальства. Если кому нужны эти и другие полезные в быту произведения, приходите завтра, 25-го (во вторник), на Лиговский 80, во дворе синяя дверь. В семь часов.

Сам я обязательно пойду.

94

Одна семья купила стиральный механизм. И не выкрутила из него четыре задних болта. Хотя инструкция настоятельно советовала выкрутить. Крупным, понятным рисунком советовала.

Эта смелая семья не боялась, что машина с неотрезанными болтами станет метить углы и орать ночью неприятным голосом.

- Я не дам мучить животное ключом на семнадцать! – сказала мама этой семьи. – Если бог дал ей болты, как мы можем их отнять!

Папа согласился. Чтобы в жилище не переводились секс и еда, он во всём соглашался с мамой.

Они жили в старом доме, где лестницы болели ревматизмом, а межэтажные перекрытия изгрыз кариес. (это важно).

Стиралку поселили в углу, рядом с голландской печью. Кто не знает, это в квартире такая большая, тёплая башня. Жрёт дрова, когда дают. Голландская печь называется.

Так, под видом маленького механического дружочка в дом проникла опасный урод. И в самый первый отжим, в главный момент жизни любой прачки, с нею сделалась эпилепсия. Злая техника стала прыгать, биться. Пока не провалилась вниз, к соседям.

Звонит мне мама этой семьи. Говорит, приходите, посмотрите что сделала эта психическая.

Аккуратной квадратной дырки там не получилось. Вслед за стиралкой вниз прыгнула голландская печь. Как всякой женщине, печи всегда хотелось путешествий. Узнав, что под землёй тоже есть жизнь, она не удержалась, ушла смотреть. Получилась брешь вполне трагических размеров.

Жители низлежащего ада обрадовались, конечно. К ним с неба упала новая стиральная машина и голландская печь в прекрасном состоянии, россыпью по два и по пять кирпичей. Плюс много прохладной воды и свежестираные наволочки. Если пригнать пять золушек, отделить ими бельё от камней, то выгода налицо.

Или вот другая история. Дом в этой новой истории попался железобетонный, с большим содержанием блендамеда в полах, поэтому ничего не провалилось. Но всё равно было что-то не так, как выразился их папа.

Этот папа технически грамотный попался. Он напилил досок по размеру и распёр стиральную машину в потолок и стены санузла. Чтоб не прыгала. А в панельных домах санузел – это отдельная гипсолитовая кабина.

И вот. Взбешённая досками и неволей, полная болтов стиралка оторвала санузел от труб и прискакала на нём в гостинную. И перегородила туалетом корридор. Именно невозможность пройти в кухню иначе, как сквозь стены туалета их папа назвал «ЧТО-ТО НЕ ТАК».

Интересней неукрощённой стиралки только эксплозивные психопаты. С ними тоже всегда интересно. Они дерутся топором, могут перекусить бульдога пополам и вообще живут полной грудью. Сейчас такого найти трудно. Психопат сегодня измельчал, больше плачет, жалуется. В лучшем случае яйцом бросит с восьмого этажа. Если б не стиралки с болтами, мир совсем бы позабыл, что такое настоящая опасность.

95

Бард Юра звал репетировать в гости к одному холодильнику, по имени «Серёжин». В том холодильнике неразменные миноги, иногда селёдки с луком и ещё такая водка, не помню название, что-то на «Ш», но не «Черноголовка».

А жена Серёжи переехала в деревню навсегда. Невероятно творческая обстановка. Мы с Юрой ни за что не бросим Серёжу одного в этом раю, потому что воспитанные друзья так не поступают.

Но тут же позвонил бард Николай, предложил репетировать в хореографическом училище.

Настали трудные времена. Надо было решать, как жить дальше весь вечер четверга. На весах судьбы качались: в левой чаше холодильник, рассадник счастья и здоровья, в правой чаше целый ансамбль нетолстых женщин. Последние, стоило закрыть глаза, призывно грустили обо мне, размахивая малопользованными белыми ногами.

Чтобы дать удаче шанс, я подбросил монетку. И конечно же, выпало хореографическое училище. Я загадал его с обеих сторон, на всякий случай.

Вот приходим мы с Николаем репетировать. В бодрой такой манере исполняем песню «Дэмон», философского содержания, про самоубийства. Так велел режиссёр. Тем временем выпускницы танцуют под нас ирландский танец. Прекрасная идея, я считаю.

Выходит солистка Настя. В одном, я бы сказал, трико. Поворачивается спиной и сразу видно, насколько она богиня. Где у людей обычная попа – торчком, карнизиком, бухгалтерская (подушечкой), попа в форме плато, ромбовидная, на бочок, с ладошку, многозначительная, испуганно вздрогнувшая или наглая как колено - попы всякие важны – там у Насти две идеальных полусферы.

Любите ли вы геометрию, как люблю её я? Умеете ли вы среди ночи нарисовать циркулем Настин профиль?

У неё там, только представьте, будто глобус распилили. Если бы такая штука выросла на мне, я бы украсил полушария очертаниями материков. Чтоб все видели, насколько совершенна наша планета из космоса. А дуракам неутончённым отвечал бы эзопово:

– Поцелуйте меня в Гринвич!

Ну вот, бренчим мы свою смурдятину. Настя кружится как прекрасный мотылёк, оснащённый женской попой. Я мечусь меж географических метафор и геометрических, потому что глупо с чистой красотой знакомиться простым «Который час?». Тут важны очень точные комплименты.

Тем временем, откуда-то сбоку выскакивает отвратительный мальчик-балерун с ужасным задом в форме усечённого октаэдра и хватает Настю за такие места, на какие я даже во сне боюсь смотреть и закрываю глаза. А он прям туда руками. Будто сердца нет у него.

Конечно, вечер не удался. Я два раза сыграл субдоминанту вместо квинты, октябрь ворвался в мою душу, уже среда, а он всё не уходит. На прощание, мне показалось, Настя подмигнула мне правой ягодичкой. Но всё равно. Как-то грустно. Пойду в гости к Серёже. Напьюсь, что ли.

В субботу, кстати, будем в Питере, с концертом. Если вас зовут Настя, и сзади у вас будто глобус распилили, обязательно приходите, будет скучно и душевно.

96

У меня все истории - про жизнь без секса, а всех мужчин зовут Сергей. И ещё: я кактусы выращиваю. Это значит - я унылый и однообразный идиот. За такое редкое качество меня не любят женщины, а любят лишь добрые коты, дети, их бабушки и бард Саша Б., который мне самому начинает уже нравиться. От безысходности.

Вот мой шурин тоже сантехник, но весёлый и разный. Он куда ни придёт, везде у него наступают красивые отношения. Иногда до трёх раз в неделю. А мне предлагают лишь чай и суп. После такого чёрствого ко мне отношения ремонтировать унитаз невозможно, только упасть в него и уснуть. Но я ремонтирую всё равно, сквозь усталость и нервы, потому что во мне огромная сила воли и нежность к деньгам. А коты, дети, их бабушки приходят и рассказывают мне в спину Истории. Например, такие.

Один мужчина хотел Любви. Его имя пусть для нас останется как бы загадкой. В личной жизни этого Сергея тоже доминировали коты, дети и бабушки. Какое-то время он был глубоко и упоительно несчастлив, как я теперь. Но потом решил не пропасть от полового одиночества и купить дом.

Ведь всем известно, если отдельный холостяк живёт в доме, у него сама собой заводится женщина. Из ниоткуда. Из красоты и внутреннего романтизма обстоятельств. Как мышь из нестиранного белья.

Не сразу, конечно. Иногда целую неделю ждёшь. Зато потом обернёшься вдруг - а она уже в халате, нога на ногу, сидит, тапком покачивает.

О! Вы не представляете, сколько разных смыслов вмещает в себя тапок на пальце ноги!

Ради всех этих смыслов Сергей построил шкаф с 24-мя аквариумами. И поимел в том шкафу сеанс одновременного разведения рыбок. На продажу, извините, зоофилам. Ну, чтоб деньги, дом, любовь.

Сначала рыбки дохли от нервов, потом оказались непродавабельной породы. А жрали больше чем сами стоят. Потом меж них была гражданская война и хвостовредительство. В кульминации драмы у шкафа ломается ножка, красивое увлечение Сергея падает вдребезги и смывает косный налёт роскоши с низлежащих соседей.

В подъезде густо пахнет мордобоем и скользкими болотными гадами, какие жили ещё в девонском периоде. Все вокруг детские площадки украшены плесневелыми коврами на просушку. Мечта разжиться одомашненной женщиной в тапке отложилась на миллион лет и окаменела, как яйцо динозавра. Чтобы расплатиться за непрочность ножки, Сергей заводит другой шкаф, теперь с коноплёй. Знающие люди рассказывали, что это растение не склонно устраивать потопы. 25 кустов. Счастливое число.

Растить ганджубас – искусство тонкое. Шкаф нужно оклеить изнутри фольгой и провести вентиляцию с мотором. Удобрять следует какашками пониженой кислотности. Вместо обычного степного солнца используйте металлогалогенные трубчатые лампы ДРИ-Т56/Л, производства ООО «Рефлакс», телефон службы сбыта 495-232-42-93.

Всё шло хорошо. Конопле нравилось в удобном, светлом шкафу. Но однажды в гости зашёл участковый капитан, поговорить и слегка пописать в туалете. Проследовал куда надо и не вернулся. Мужчина Сергей, чьё имя для нас загадка, почуял недоброе. Побежал догонять, а участковый уже да, стоит и грустит глазами на урожай. Он шёл мимо и профессионально удивился, зачем шкаф светится изнутри таким ярким космическим светом.

- Хорошие лампы – сказал участковый. - Где достал?

Из вопроса следовало, этот капитан ещё и опытный аграрий, в душе. И, быть может, раньше он даже рыбок разводил. И наверняка достиг уже конечной мечты всех аграриев – женщины в тапке.

В участковом мозгу тем временем ссорились злой мент и добрый ботаник. Мент требовал всех пересажать. Ботаник искал добра и человечности. Капитан выслушал обоих и приговорил: простить, но урожай уничтожить. И ушёл.

Наш безымянный друг сам повыдергал свою мечту и стал жечь в кастрюле, на кухне, малыми порциями, включив кухонную вытяжку в режим вертикального взлёта.

Вытяжка честно запихала дым в трубу. Оттуда что-то попало в небо, но лучшие клубы достались соседке сверху. Через полчаса она спускается, смеётся вся.

- Слушайте, говорит, что вы готовите такое вонючее? Я вас хотела убить сначала, но стало ужасно смешно, какой вы всё-таки дурак в кулинарии. И не разбираетесь в специях.

Потом они вместе хохотали над соседями, залитыми сразу из 24-х аквариумов. Потом слушали Генделя и плакали в терцию, такой этот Гендель проникновенный. В полночь, взявшись за руки, побежали на вокзал в тошниловку и потратили на еду недельный бюджет крупной африканской деревни. А утром проснулись вместе, одетые и обнявшиеся. Причём с его слов, он молчал весь вечер и только любовался ею. А она говорит, что впервые мужчина довёл её до полного женского счастья одними рассказами.

Вот так смирение и труд, пусть кривым путём, привели к хорошим результатам в виде регулярного секса. Надо бы и мне как-то не пропасть, с моими унылыми кактусами. Куплю им, что ли, свежих какашек и металлогалогенных ламп, побольше.

97

Возвращались с фестиваля, ночью. Тут шофёр наш говорит:

- Теряю вдохновение. Надо взбодриться.

И купил на заправке кофе в картонном стакане. Сел в машину и опять сказал: «Надо взбодриться».

И вылил покупку себе на штаны, в район трусов. И правда, долго потом был бодр.

Я знаю тысячу способов борьбы со сном. Я видел как сержант Петренко ел в дороге чеснок. Шесть часов подряд. Потом сержанта тошнило, потом всё в сержанте горело. Бодрость пришла, но какая-то мучительная.

А другой сержант, не Петренко, стоял у знамени на посту. Чеснока он с собой не имел и все надежды возложил на онанизм. Проявил, так скажем, солдатскую смекалку.

Но онанизм не оправдал. Ночью в штабе тихо, лишь дежурный по части, как бы дежурит, на самом деле тоже спит. Только этажом ниже.

И вот просыпается дежурный от шума, грохота, а это сержант не-Петренко по лестнице катится и гремит автоматом. И голая сержантская пися молча бьётся о ступени.

А можно просто массировать уши.

Минус этого приёма - к утру уши сильно распухают. Вернуться домой с большими красными ушами некоторые считают двусмысленным. Распухшая промежность гораздо естественней смотрится. Жена с порога понимает, как было трудно и только один оставался выход – кипятку туда.

Какие весёлые танцы, сколько жизни в глазах, какое остроумие обнаруживает простой украинский мужик, стоит обработать кипятком его бикини, место нежное, отзывчивое к воздействию раскалённым кофе!

Пить кофе внутрь человека тоже помогает. Но не так.

98

Идеальная женщина умна, добра и с круглыми коленками. (Коленки – всемирный критерий женской красоты).

На деле таких женщин не бывает. Больше двух добродетелей в одну женщину не лезет. Поэтому лояльные мужчины выбирают между «добрая» и «красивая». Или «с круглыми коленками» хотя бы.

Умных избегают. За умом погонишься, женишься на жинозавре.

Так вот, про красоту, ум и доброе сердце.

Она была внучкой секретаря политбюро рабочей партии Мозамбика. А он – капитан дальнего плавания Сергей. Он приходил в Мозамбик раз в три месяца и крокодилы в речке Замбези шептали друг дугу:

- Братья, тише жуйте ваших зебр, к нашей Мтенде приехал капитан Серёжа.

И все удивлялись, какое светлое и красивое чувство вырастает иногда из обычного секса между русским капитаном и африканской принцессой.

- Выходи за меня – сказал однажды Сергей, внимательно соизмерив свои возможности с её потребностями. Результаты измерений советовали бежать, побросав гигиенические принадлежности. Но Серёжа твёрдо верил в моряцкое Счастье.

В ответ принцесса Мтенде села, голая, в кровати. И сверкнула чёрными мозамбикскими глазами. И сказала, торжественно блестя чёрными мозамбикскими коленками:

- Я подарю тебе пальму. Если будешь помнить меня, на ней вырастут плоды. И тогда я сама к тебе приеду.

- Какие ненужные, обременительные условности! – возразил Серёжа, только другими словами. Он имел ввиду, в основном, пальму.

- Поехали сейчас. Я тебе потом лиственницы пришлю полный Мозамбик.

- Нет, - ответила принцесса Мтенде, - Сложные мистико-культурные традиции моего племени, основанные на аутентичных архетипах женской вредности, не позволяют мне вот так бросить дедушку, секретаря политбюро. Кроме того, у меня тут дел по самое Килиманджаро, банан не полот, кокос не убран, в курятнике дыра, леопарды сквозь неё цыплят пожрали. Бери растение и уезжай, русский боцман Серёжа. Как урожай поспеет, пиши, я приеду.

Таможенникам Серёжа признался, что давно мечтал стать пальмоводом. Кактусы у него в детстве дохли. Мамины традесканции, едва он входил в двери, выскакивали в страхе из горшков и

пытались бежать, опираясь на слабые корни. А пальм никогда не было. С пальмами, сказал Серёжа таможенникам, должно сложиться.

- Ну давай – разрешили таможенники, предварительно порывшись у пальмы в паху на предмет контрабанды. И добавили обидное слово: - Ботаник!

На время рейсов Сергей изобрёл автоматический полив. Очень скоро этот полив автоматически полил соседей на много-много этажей вниз. Много-много спасателей целовали и кусали Серёжину дверь и догадались лишь что она сделана из чего-то очень твёрдого. Потом Серёжа из Африки позвонил брату, у брата были ключи, он приехал и показал как надо открывать двери.

Через три месяца Серёжу встретила пальма с полностью порушенной психикой. Она пережила потоп, потом засуху и если были в ней намерения нарожать маленьких пальмочек, то все прошли. Дерево каждым листиком ощущало, как жильцы дома без любви косятся на неё сквозь дверь. В такой атмосфере нестись кокосовыми орехами никому не приятно.

В следующий отъезд боцман Сергей нанял в пальмоводы родного брата. Через месяц всего брат прислал фотографию. На ней пальма цвела лохматыми белыми цветами, немножко похожими на украденные с кладбища георгины. Ещё через месяц на фото зеленели три ровных шарика под самой кроной.

- Мальчик, - нежно и неправильно подумал Серёжа на пальму.

Следующую фотку, с тремя уже огромными орехами, Сергей переслал в Мозамбик, зазнобе. И вы не поверите, его Мтенде приехала.

Она внимательно осмотрела пальму, обняла Серёжу и сказала по-африкански что-то ласковое, похожее на «ты мой храбрый крокодил».

Под утро, когда в каждом слове много смысла, но его никак не ухватить, Сергей прошептал:

- Не могу поверить, что ты здесь.

И она прошептала в ответ:

- Понимаешь, я всем своим мужчинам дарю пальмы. Чтоб надежда жила и всё такое.. Мужчины стараются, поливают, неделю или месяц. Потом к ним приходит другая женщина, без аграрных претензий, и всё. Мы делаем вид что ничего не было.

Только ты, Серёжа, год старался, а потом ещё придумал к финиковой пальме прилепить кокосы столярным клеем. Это так смешно и трогательно, что я взяла и приехала.

- Вообще-то, сначала я думал наклеить бананов – осторожно пошутил Серёжа.

В общем, удачно всё сложилось. Он её любил за добродетели, она его за находчивость. Только брату эротики не перепало, а только жилплощадь с пальмой.

Это ещё что. Одна знакомая девушка влюблялась в тех, кто её смешит. В ней было полно изюминок, виноградник была, а не девушка. Мальчики в её честь учили книжки анекдотов, а она вышла за военного с красивыми усами. В женской любовной мотивации всё ужасно запутано.

99

Однажды я полюбил гимнастку. Мы встретились случайно. Это было в армии, мне доверили охранять склад бензина. Был дождь. Гимнастка была напечатана в газете, ветер и непогода прилепили её к столбу вместе с изданием. Я отлепил пару страниц почитать, потому что мало найдётся дел скучнее, чем охрана Родины в виде бензина. И любовь нечаянно нагрянула, когда её совсем не ждал.

Типографы не сумели передать черт лица. Зато ноги пропечатались отлично. Судя по коленкам, изображённая была человеком отзывчивым, лиричным и с тонким чувством юмора. Возможно, на

ощупь её лодыжки показались бы гранитными, но мне захотелось умереть, обвиснув на них влюблённой Квазимодой.

Я вырвал своё хабиби из прессы и целый год носил на груди. В редкие минуты солдатского досуга я доставал эти бёдра из кармана и взглядом желал им совместного со мной счастья.

Такое длинное вступление призвано отразить мою солидарность с английским лейтенантом Ричардом М., который тоже влюбился в ноги.

Он зашёл в клуб на минутку. На столе как раз танцевала незнакомая ангел по имени Даша. Она была русская, пьяная, в чулках, из очень хорошей семьи. Дашу в Англию прислала мама. Мама верила, что чужбина убережёт дочь от раннего замужества. На счёт англичан мама не волновалась, всё они козлы и не представляют опасности. Выйти за них замуж невозможно, это противно человеческой природе.

Как бывает с девушками, чьи предки сплошь интеллигенты, посещение клуба Даша завершила танцами на столе. Выступление было украшено голыми ногами, уходящими в волнующую бесконечность. На сладкое Даша исполнила куворок в руки анонимного лейтенанта ВВС.

Всё получилось много красивей того эпизода из фильма про гусар, где корнет Голубкина сверзилась на Ржевского-Яковлева, удивив знаменитого артиста крупным задом.

Ричард поймал Дашу легко, будто всю жизнь ловил пьяных русских баб.

И, конечно, сразу влюбился. Когда на лейтенанта, прошедшего земную жизнь до гнусной середины, валятся с небес распаренные женские тела, лейтенант не может не любить.

Через неделю Даша прислала маме письмо:

«Его зовут Ричард, он почти уже капитан, я сопротивлялась сколько могла».

Мама телепортировалась почти мгновенно. Чтоб медовый месяц не растёкся на тысячу лет, она приехала посмотреть как они там устроились.

Лейтенанту впервые захотелось убить человека, когда тёща поливала газон. Стояли жара и сушь, английское радио просило всех беречь воду. Соседские газоны согласно пожухли и только в Ричардовом оазисе колосились томаты. Лишь только лейтенант уходил служить, мама хватала шланг и вредила стране со скоростью одно ведро в секунду.

Ей было ясно сказано: воду – только пить. А она всё равно лила на грядки.

К концу июля пыльные смерчи убили всю зелень в южном Уэссексе. И только Ричардов двор позорно зеленел на всю улицу. Это был его личный, изумрудный позор.

Тогда капитан придумал дезинформацию. Как бы проговорился за ужином:

- С завтрашнего дня нашим вертолётчикам приказано летать над нашей родной Англией и расстреливать всех, кто поливает газоны.

На следующий же день Тёща установила четырьмя автоматические поливалки.

- Дорогой, не сердись на маму – тихо сказала Даша и закинула левую ногу на правую. И дорогой перестал сердиться. А наутро как раз пошёл дождь.

Но вы же знаете наших русских мам. Пока зять жив, они будут творить добро. И мама переклеила обои. За день. Во всём доме. С расчётом, что зять умрёт от удивления. Но он оказался лётчик, здоровяк, отделался простым необширным инфарктом и истерикой. То есть, с маминой точки зрения, никак не отреагировал.

Это был Сюрприз. Лейтенант трижды заходил в дом и выходил назад. Изнутри ему казалось, он вломился не к себе. А снаружи это опять был его дом. Ангичане ужасно консервативны, вы не находите?

Тут Даша опять сделала жест примирения - сняла левую ногу с правой и переложила всё наоборот. И сказала:

- Любимый, мама скоро уедет, мы переклеем как было.

Везти маму в аэропорт он вызвался сам. Он должен был убедиться что счастье улетело.

Выехал заранее. Но сиксильон местных автомобилей тоже выехал заранее. В этот день всем понадобилось стоять и бибикать как раз между Ричардом и Самолётом, который один мог отвезти тёщу обратно в Ад. Это была самая большая и подлая пробка в истории королевства.

И капитан Ричард М. объехал её по встречной обочине. Всё пятьдесят километров. О, это было как сольный дневной полёт бомбовоза над вражеской Германией!

Нет, вы не понимаете. В списке английских преступлений даже поливать газон в жару - хуже. И страшнее, чем клеить обои без разрешения. Так не ездят даже те, у кого вся крыша – одна сплошная восьмицветная мигалка, и в руках мигалки, а на груди паровозный гудок, всё равно. Англичане даже казни отменили, потому что никто так не ездит.

Но. Если человека загнать в угол тёщей, в нём просыпается социопат, убийца и маньяк. Ричард не боялся, что у мамы от тряски выпадут пломбы. Он боялся что мама опоздает.

А мама на заднем сиденье была растрогана. Никогда в её честь так не рисковали жизнью и карьерой. Только ромашки всякие дарили, и пару раз муж принёс из магазина картошку. А теперь родной зять ради неё послал к чертям страну и королеву.

И в аэропорту тёща поцеловала непутёвого, но трогательного зятя.

И Ричард устыдился. Понял, что новые обои были пожеланием добра, и газон тоже, и даже помидоры. И поцеловал маму в ответ. А она его. И так три раза.

Вот так, с езды по встречной и целованья началось постепенное перерождение Ричарда в хорошего русского человека.

100

Въехав на восьмой этаж, маменька моя выкинула в окно негодную гречку.

Прямо в открытый космос. И выглянула посмотреть, как красиво та сгорит в стратосфере. Но в наших местах стратосфера какая-то неплотная. Невредимые зёрна упали на планету и население, доверчиво гуляющее без зонтов.

В нашем дворе много скамеек. Но люди водятся только на той, куда моя космическая мама высыпает свой космический мусор. В самый первый раз, с гречкой, человечество не поняло, что ж это такое. Все подумали, что ужасное фубля с неба упало. Стали прыгать, вытряхивать из себя осадки. И посмотрели наверх. Но маменька моя как раз смотрела из окна на пострадавших. Но не растерялась и тоже повернулась в небо, и разгневалась лицом, дескать каковачорта вы там швыряетесь! Она у меня очень хитрая.

У них в станице под окном жили хищные куры, гуси всякие. Жрали всё, даже кости от черешни. Согласно деревенским правилам, просто кости на земле – это мусор. А те же кости, покаканные гусями – уже часть природы. Поэтому некрупные объедки станичники швыряют в окно.

Рефлекторно маменька до сих пор это делает. Со словами: «у нас же там газон». Но газон правее, а под окном как раз скамейка. И тридцать лет человечество не может запомнить, что жильцы суть источник не только дождя и снега, но и старой заварки, и хвостиков от клубники.

Впрочем, поскольку крупных тяжёлых предметов мы не жрём, никто там особенно не пострадал.

Из несъедобного, я однажды выбросил мышку. У нас гостили сестра с Кубани и мышка, не знаю откуда. Женщины случайно встретились на кухне и стали визжать. Я прибежал и выбрал спасать сестру.

Будучи молод и стремителен, я поймал мышь руками. Но опять же, будучи молод, не знал что с ней делать дальше. Ведь неясно, обязан ли ловец мыши сам же её и съесть. Отнести дичь в мусоропровод было нельзя. На пути визжала сестра. Мы с мышью не понимали, куда же нам теперь, только в окно. Согласно традиции, я посмотрел как она там долетела. И встретился глазами с десантным дембелем Иваном. Он как раз всех прогнал со скамейки и отдыхал. Между нами было восемь этажей, но Иван бы допрыгнул. Просто в тот день ему было лень.

Но лучше всех папенька. Он бросил солёный огурец. И попал в голову преступно красивой в прошлом женщине Тамаре.

Надо сказать, папенька никогда не смотрит, как оно летит. Он философ. Поэтому Тамара не подумала на отца, ведь он приличный мужчина. А во-вторых, этажом ниже жила женщина-шпалоукладчик Дуся, ненавидящая Тамару за красоту и похоть.

Тамара поднялась и сказала Дусе многое, о чём раньше только думала.

Дуся в консерваториях не кончала и не могла на равных полемизировать с Тамарой. От обиды и бессилия Дуся Тамару укусила. Тогда укушенная как бы проиграла спор, но потом Тамара всё равно унизила Дусю на весь двор, когда в поликлинике выпросила себе сорок уколов от бешенства. В живот. Ужас.

101

Здравствуйте, ненаглядная моя дружочек Лариса Григорьевна.

Пишет вам известный бардовский аккомпаниатор Слава Сэ.

У нас всё хорошо, погода тоже. В пятницу был дождичек, потом молния. Катаклизм я лично выпросил у Бога, для районного алкоголика Анатолия. Этот Анатолий, что ни вечер, писает на каштан под моим окном. Оттого атмосфера обрела ненужную пронзительность. Молния должна быть отучить Анатолия гадить на природу и заставить задуматься о плюсах персонального горшка.

Был вечер. Анатолий привычно писал, к стволу каштановому привалясь щекою. Усталый к пятнице Бог выбрал молнию потолще и промахнулся ею прямо мне в телевизор. Поэтому ни я, ни кот до сих пор не знаем, чем закончился хоккей.

Кроме телевизора, погибли три лампочки, электрические часы и ещё на чердаке коробочка, в ней гномики добывают из голубиных какашек Интернет. Тоже все сдохли.

Без гномиков жизнь ужасна. Я от скуки приготовил плов, две пиццы, цыпу табака, ходил в лес, много думал. Купил новый телевизор, большой как ветровое стекло Икаруса. Из-под него осталась отличная картонка. Маша в ней бьётся с котом за право свить гнездо. Хотел выбросить коробку, но тут дали Интернет, теперь некогда.

Что приятно, в том пятничном Армагеддоне выжил холодильник. Молодец. В холодильнике заветная кастрюля, в кастрюле борщ, в борще мозговая кость. В той кости, если метнуть и не промахнуться, Анатолиева смерть.

В тот же день посещал музыкальное кафе, дарил людям искусство. Люди обречённо слушали. Если случалась пауза, благодарили за тишину глазами. В кафе приходит много симпатичных женщин 56-го, 58-го размеров и даже ещё красивее. Мноие готовы замуж немедля и любят бардовскую музыку каждую пятницу с 20.00. Но единственнй из нас дееспособный Александр Б. глух к скрипам их корсетов, ибо тяготеет ко мне. В нём живёт та нежная страсть, какая бывает у небогатых бардов к убогим, но бесплатным аккомпаниаторам. Давайте уже скорее пойдём гулять прилюдно, ненаглядная моя Лариса Григорьевна, не то Александр Б. неверно понимает моё творческое одиночество.

102

Нитунахин по запаху отличает кто там сдох в подвале, мышка, птичка или котик. Котов и птиц он хоронит, потому что это православные животные. А грызунам говорит «бох простит». Вы видите, он уже совсем сантехник.

Однажды к Нитунахину забрёл очень медленный кот. По всему, этот хищник охотился ещё на птеродактилей, но теперь усох. Он зашёл погреться на трубах и сам не заметил, как кончилось кино. Нитунахин сложил аксакала на лопату и понёс. Шли они, шли, навстречу бабки.

- А что это у вас на лопате? – оживилась одна бабка. Она поинтересовалась таким нежным голосом, каким спрашивают, желаете ли вы умереть сразу или лучше сначала помучиться.

Все старухи мира обожают котов. Готовы вылизывать их и даже замуж пошли б, только коты не согласны.

А сантехников ненавидят. Считают нас демонами и библейскими бегемотами.

И представьте, идёт Нитунахин, несёт на лопате кота.

«Маньяк и убийца!» - догадались бабки.

Если б Нитунахин упал на колени и заплакал, его бы простили. Но он стал шутить в ответ. Он сказал, что несёт негодяя на помойку, и так будет с каждым, кто жульничает в нарды.

Ни одна бабка не расхохоталась в ответ. Фрёкен Боки самые несмешливые жители планеты. Из-за них, например, в рекламе стирального порошка навсегда запрещён юмор. Только Петросян знает секрет старушечьего смеха и в этом величие Петросяна.

Покойник оказался известным на районе котом Мишкой из квартиры восемь. Неделю назад он вышел из дома к друзьям, с тех пор от него ни писем, ни звонков. Рост небольшой, глаза жёлтые, усы прямые, одет в волосы.

Младшие бабки побежали в квартиру восемь рассказать про горе. Нитунахина взяли за рукав, вызвали полицию, службу защиты котов от людей, и ещё нашего директора Володю, у которого на котов аллергия.

Директор приехал первым и единственным. Было собрание неравнодушных жильцов, директор пять раз сказал «простите его, он дурак». Обещал всем утеплить трубы. Нитунахин письменно клялся никого не носить в мусорник без резолюции старосты дома, умеющей на глаз оценить значимость трупа для коллектива.

У сантехников нашего ЖЭКа теперь очень широкие обязанности. Вот я, например, чинил плиты, двери, табуретки, кофемолки. Спасал котят и одну пересохшую жабу. Утешал невозможных детей, боролся с вторжением инопланетян, нюхал зелёное желе, двигал мебель, мешал абрикосовое варенье и однажды держал за ноги женщину, которая развешивала бельё, стоя на краю ванной. Вне моих горячих ладоней она боялась упасть.

А Нитунахин теперь и коронёр.

Я спросил его, можно ли рассказать про это всё. Он запретил, но прислал взамен стихи, сам писал. Из стихов следует, Нитунахин к тому же следит за равновесием света и тьмы во вселенной. Молодец, я считаю.

И раз уж я тут главный, хочу передать монамур Ларисе Гриорьевне привет и ещё сказать вот что.

Лариса Григорьевна. Вот мы вчера ходили в баню, там я не решился. У вас очень, очень красивые ноги.

Дина Рубина

Справочный материал

Родилась в 53-м, уже после смерти Усатого, в семье художника и учительницы истории. И та и другой родились на Украине. Отец — в Харькове, мать — в Полтаве. В Ташкент родители попали каждый своим путем. Мать — с волной эвакуации, явилась девчонкой семнадцати лет, бросилась поступать в университет, (страшно любила литературу). В приемной комиссии ее спросили строго — "Вы на филологический или на исторический?" Она закончила украинскую школу, слово "филологический" слышала впервые, спросить — что это значит — стеснялась, так и поступила на исторический. Ночью работала охранником на оружейном заводе, днем спала на лекциях, которые читали блестящие профессора московского и ленинградского университетов, эвакуированных в Ташкент. Зимы те военные были чудовищно морозными. Картонные подметки туфель привязывались веревками. От голода студенты спасались орехами — стакан стоил какие-то копейки. Тогда еще не знали, что они страшно калорийны. Кроме того, в студенческой столовой давали затируху. И студенты и профессора носили в портфелях оловянные миски и ложки… Однажды моя восемнадцатилетняя мать случайно поменялась портфелями (одинаковыми, клеенчатыми) со знаменитым московским профессором, который читал курс средних веков по собственному учебнику. Обмирая от стыда, она подошла к учителю и сказала: "Профессор, вы случайно взяли мой портфель и мне ужасно стыдно: если вы его откроете, то обнаружите, что в нем нет ничего, кроме миски и ложки для затирухи". Профессор сказал на это: "если бы вы открыли мой, то увидели бы то же самое."…

Отец родом из Харькова — вернулся с войны молоденьким лейтенантом — в Ташкент, к эвакуированным родителям. Поступил в художественное училище, где историю преподавала его сверстница — очень красивая, смешливая девушка… Так встретились мои родители.

У того и другого в семьях есть легенды, вполне литературные. Из одной легенды я уже состряпала "путевые записки" — "Воскресная месса в Толедо", которые были опубликованы во 2-м номере "Дружбы народов" и вошли в книгу, вышедшую в издательстве "Вагриус". А "цыганская" легенда материнской родни еще ждет своего часа. Написать в двух словах не получается. Уж больно романтична.

Полагаю, что на отрезке — до и после революции — мои предки занимались ровно тем, чем занимались сотни тысяч украинских евреев: немножко торговали, немножко учились, немножко учили других. Прадед по матери был человеком религиозным, уважаемым и — судя по некоторым его высказываниям, которые до сих пор цитируются в семье — необычайно остроумным. Прадед по отцу — варшавским извозчиком, человеком необузданной ярости, от чего дед в четырнадцатилетнем возрасте бежал из дома и никогда не вспоминал о своей семье. От этого, не слишком далекого, предка — вспыльчивость и умение портить отношения с людьми.

Детство мое, равно как и юность, и молодость, да и вся последующая жизнь — в домашней тесноте, буквальной: маленькие квартирки, где у растущего человека нет своего угла. Одна из комнат обязательно — мастерская, — ибо сначала отцовские холсты расставлены по всем

углам, потом — мужнины. Про все это я писала в повести "Камера наезжает!" Итак, теснота физическая, бытовая, а также теснота обстоятельств, постоянно давящая… Ну, и занятия музыкой по нескольку часов в день — специальная музыкальная школа при консерватории…в общем, было о чем писать.

Непреклонное лицо на фотографиях тех лет. Мое лицо. Беззащитные глаза, квадратные скулы. Довольно жалкое существо, угнетенное служением прекрасному искусству, будь оно проклято…

Мое созревание, — то есть, настаивание жалкого цыплячьего мозга на спирту и специях жизни колониальной столицы, — сопровождалось видениями. Вернее, так: самая обыкновенная вещь — сценка, случайная тающая фраза в уличной толпе, обиходная деталь быта вдруг высекали во мне сверкающую искру и я впадала в прострацию. Нежный подводный гул в ушах, давление глубинной толщи, парное дребезжание воздуха, какое в жару поднимается над раскаленным песком, сопровождали эти непрошеные медитации. Так однажды на уроке физики я вылетела из окна и совершила два плавных круга над школьной спортплощадкой — я уже писала об этом.

В другой раз дивный пейзаж на щелястой стене деревянного нужника в углу полузаброшенной стройки ослепил меня по дороге из музыкальной школы. Пейзаж, пейзаж. Я имею в виду буквально: картину. Почему-то я не остановилась внимательно осмотреть находку, а прижимая к тощему животу нотную папку, прошла мимо, только выворачивая назад голову, пытаясь удержать чудное видение (гул в ушах, дрожание воздуха…) На следующий день никакого пейзажа не оказалось. Обморочное отчаяние. Тоска по зефирно-фарфоровым красотам загробной жизни. Сейчас я думаю, что это была мазня одного из рабочих — почему бы и нет? Вероятно, он вывесил картину сушиться, после чего снял. Словом, сегодня меня ни на йоту не заинтриговали бы подобные приключения моего воображения. А в то время я жила глубоко и опасно. На грани умопомешательства, как многие подростки.

Постоянное впадание в медитацию. Провалы в какие-то колодцы подземной блаженной темноты, сладостное оцепенение и разглядывание себя — изнутри: атласное дно закрытых глаз, с бегущими вбок снопами изумрудно-оранжевых искр.

Центральная колея детства — музыкальная школа при консерватории.

Что может быть страшнее и нереальнее экзамена по фортепиано? Дребезжание рук, ускользание клавиатуры, дактилоскопические следы на узких спинках черных клавиш от вспотевших пальцев… И оскорбительное забывание нот. Что вообще может сравниться по издевательству и униженности с твоим, непослушным тебе, телом?

Поджелудочная тоска, тошнота в суставах, обморочный заплыв глаз — так, как я боялась сцены, ее не боялся никто. Я выплеснула из себя в детстве и юности прибой этого горчичного ужаса, выдавила этот предсмертный, посмертный липкий холод из застывших пор. Мне уже ничего не страшно... Я видела все, я возвратилась из ада. Поэтому никогда не волнуюсь на своих литературных выступлениях.

Детские дружбы — штука хрупкая, возникают быстро, рассыпаются быстро… О Ташкенте мне еще предстоит написать, очень интересный был город в мое время, благословенный Юг, со всеми вытекающими подробностями быта, дружб, соседства, некоего южного вавилонства, смешения языков и рас. — Слишком широкая тема, а я человек деталей.

Итак, закончила специальную музыкальную школу при консерватории для одаренных детей. Такая элитная каторга, об этом тоже писала в "Уроках музыки", и напишу еще. Фортепиано, черт бы его побрал. Из школьных лет — осталась одна дружба, которая и сейчас со мной, в Израиле, живет под Хайфой, пиликает на скрипочке, преподает, уже бабушка. А вчера мы — восьмиклассницы — стояли у окна после "технического" экзамена, на втором этаже школы им. Успенского, смотрели, как падает снег и грели руки на батарее. Это было вчера.

Затем — консерватория, преподавание в Институте культуры, и прочий сор биографии, из которого давно уже выросли повести и рассказы.

От первого, несчастливого, брака — взрослый сын, от второго, счастливого, — дочь.

Первый рассказ был напечатан в журнале "Юность", когда мне исполнилось шестнадцать лет. Назывался он "Беспокойная натура", ироничный такой маленький рассказик, опубликован в разделе "Зеленый портфель". В то время я постоянно шутила. Потом еще два рассказа были там же опубликованы, после чего я торжественно перешла в отдел прозы этого журнала и печаталась там до самого отъезда из Советского Союза. Конечно, лучшие мои вещи они не брали. Так, рассказы, по мелочи. Но читатели меня запомнили, любили, ждали журналов с моими вещичками. Так что, страну я покинула уже, в общем, известным писателем.

Толстые журналы меня признали издалека, из-за границы, наверное, надо было уехать, чтобы пробить плотину "Нового мира", "Знамени", "Дружбы народов". Правда, и писателем в Израиле я стала совсем другим, но это уже другая тема.

Моя писательская жизнь в Ташкенте очень забавна, тоже — сюжет для прозы. Для заработка я переводила узбекских писателей. Премию министерства культуры Узбекистана получила за откровенную халтуру, которую накатала по мотивам узбекских народных сказок, совместно с поэтом Рудольфом Баринским. Дело в том, что от первого мужа я ушла с маленьким сыном к родителям, тем самым умножив вечную тесноту. Надо было срочно покупать кооперативную квартиру, я села и написала пьеску для театра музыкальной комедии. Там она и была поставлена, и с успехом (видно по премии), шла. На гонорар я купила однокомнатную квартиру, в которой прожила до переезда в Москву. Пьеска называлась "Чудесная дойра" (это инструмент такой, вроде бубна). Друзья, разумеется, переименовали ее в "чудесную Двойру".

В театрах ставилась пьеса по моей известной повести "Когда же пойдет снег?". Ее же в виде радиопостановки гоняют до сих пор, ее же в виде телеспектакля показывали по центральному ТВ много раз. Она ставилась в Москве, Перми, Брянске и еще Бог знает где. До сих пор какие-то письма от провинциальных режиссеров доносят до меня разные сведения о постановках.

Фильм по неудачной повести "Завтра, как обычно" тоже сняли на "Узбекфильме". Фильм тоже ужасный. Назывался "Наш внук работает в милиции". Было это в 1984 году. Зато, на материале этих киностраданий написана удачная повесть "Камера наезжает". Значит, страдания и пошлость окупились, то есть, рентабельны.

Вообще же, убеждена, что мою прозу можно только читать. (Вот недавно в спектакле МХАТа один из рассказов читала Даша Юрская). Играть меня в театре и кино так же невозможно, как играть Искандера или Довлатова. Проза писателей с ярко выраженной авторской интонацией не поддается переносу на сцену и экран. С этим нужно только смириться.

Когда снимался этот несчастный фильм, познакомилась со своим вторым мужем, значит, страдания окуплены вдвойне. К нему и переехала в Москву. Опять — в тесноту, в "хрущобу", где и прожили мы до 90-го года, года эмиграции, до следующей, уже израильской экзистенциальной и полной "тесноты": — квартиры, денег, страны.

В Москве жила свободным художником (вообще, свободным художником живу лет с двадцати трех, служить — фрагментарно — стала только переехав в Израиль, и вот, сейчас, о чем — ниже.) Круг общения — самый разный. Конечно, — писательский, художественный, музыкальный. Самый широкий. Я при внешнем беглом пригляде — довольно открытый человек, вполне светский. Так что, знакомства перечислить трудно. (Муж мой работал какое-то время в театре на Таганке, поставил с режиссером Ефимом Кучером несколько спектаклей, вот вам и актерская компонента; я писала радиоспектакли на московском радио, вот вам и еще один бок московской жизни, ну и журналы, ЦДЛ… — словом, как у всех московских литераторов.)

В конце 90-го мы репатриировались.

Это — рубеж биографический, творческий, личностной.

И что бы я ни делала в Израиле — немножко служила, много писала, выступала, жила на "оккупированных территориях", ездила под пулями, получала литературные премии, издавала книгу за книгой и в Иерусалиме, и в Москве… — все это описано, описано, описано…Нет нужды повторяться.

Премий две — за книги. Одна, им. Арье Дульчина, за книгу "Один интеллигент уселся на дороге", вторая — Союза писателей Израиля — за роман "Вот идет Мессия!".

Период творческого кризиса переживаю всякий раз, поставив точку в очередном романе-повести-рассказе-эссе. Вообще, живу в вечном состоянии творческого кризиса. Повышенно самокритична. После переезда в Израиль действительно, молчала полгода. Но это был не узко-творческий, а тотально-личностной кризис, о котором я тоже писала в повести "Во вратах Твоих", и в романе "Вот идет Мессия!".

Мой муж и моя дочь религиозны в самом прямом иудейском смысле этого слова. Со всеми вытекающими деталями жизни. Я же выскальзываю из любых пут, как и надлежит быть художнику, — хотя, конечно же, обращаюсь к Богу постоянно.

Наш китайский бизнес

Беда была в том, что китайцы и слышать не хотели о китайцах. Наверное, потому, что были евреями.

Яков Моисеевич Шенцер так и сказал: нет-нет, господа, вы китайцами не увлекайтесь! Речь идет о еврейском Харбине, о еврейском Шанхае...

Словом, беседуя с ними, было от чего спятить.

Когда мы вышли, Витя сказал:

— Ты обратила внимание на их русский? Учти, что многие из них никогда не бывали в России!

— Полагаю, все мы нуждаемся в приеме успокоительного, — отозвалась я.

— Я менее оптимистичен, — сказал Витя. — И считаю, что всех нас давно пора вязать по рукам и ногам. Китайцами мы их прозвали потому, что это слово ясно с чем рифмуется.

Когда перед нашими носами забрезжил лакомый заказец — их паршивый "Бюллетень", — мы навострили уши, наточили когти и приготовились схватить зажиточную мышку в свои пылкие объятия.

Поначалу эти обворожительные старички со своим рафинированным русским казались нам божьими одуванчиками. Вот именно тогда Витя и изрек впервые: "Китайцев следует хватать за яйца".

И я с ним согласилась. Но яйца у них оказались основательно намылены.

Да. Стоит разобраться, ей-богу, почему же сначала они показались нам божьей травкой?

Корректность, конечно же! Их безукоризненные манеры и старосветское воспитание.

...Тут бы мне хотелось как-то посолиднее нас обозначить, но, боюсь, ничего не выйдет. Назывались мы "Джерузалем паблишинг корпорейшн", хотя ни я, ни Витя не имели к Иерусалиму ни малейшего отношения. Я жила в маленьком городке, оседлавшем хребет одного из холмов Иудейской пустыни, а Витя— в душном рыбно-портовом Яффо.

К корпорации, какой бы то ни было, мы тоже не имели ни малейшего отношения, но Витя считал, что это название придаст нашей фирме некоторую остойчивость. (Кажется, в корзину воздушного шара с той же целью грузят мешки с песком.)

Честно говоря, нас и фирмой назвать было совестно, но это уж — как кому нравится.

Когда, года четыре назад, нас обоих вышвырнули из газеты за то, что мы платили авторам гонорары, Витя, с присущей ему наглостью и гигантоманией, заявил, что с него довольно: больше он на хозяев не работает. Он сам будет хозяином.

— Кому, например? — спросила я с любопытством.

— Тебе, — простодушно ответил он.

— Да благословит вас Бог, масса Гек!

Тогда он с жаром принялся доказывать все выгоды самостоятельного бизнеса. Можно сильно греть налоговое управление, объяснял он, списывая текущие расходы на все, буквально на все! К примеру, приобретаешь ты за пятьдесят миллионов долларов на аукционе "Сотбис" Ван Гога, "Автопортрет с отрезанным ухом", и когда представляешь документы об этом в налоговое управление...

— ...тебе отрезают все остальное...

— Да нет! — кипятился Витя. — Тебе просто списывают эту сумму с годового налога!

Теперь вы понимаете, с кем мне приходилось иметь дело?

На другое утро он пошел в налоговое управление, положил голову на плаху и дал знак палачу опустить нож гильотины: зарегистрировал на свое имя компанию "Джерузалем паблишинг корпорейшн", единственным наемным работником которой стала я.

Первое время старые газетные связи еще держали наш воздушный шарик в бурных потоках издательской стратосферы. Одним из первых заказов была религиозно-историческая брошюра, издаваемая консервативной ешивой, которую возглавлял рав Фихтенгольц. Дай ему Бог здоровья, — это был дивный заказ! Большая статья о порядке богослужений и жертвоприношений во Втором Храме. На третьей странице издания мы должны были изобразить Первосвященника иудейского в полный рост в парадном одеянии.

Статью, конечно, перевели и отредактировали, что касается Первосвященника — с ним было хуже. Дело давнее, заметила я, кто его видал, этого парня?

И тут нам с Витей пришла в голову славная мыслишка насчет моего свитера — длинного, серого, вязанного такой мелкой дерюжкой. Простенького, но очень элегантного. У меня была хорошая фотография анфас в этом свитере. Снимали во время страстной ругни в Беэр-Шеве на конференции, посвященной связи двух культур — нашей и ихней. И поза хороша: правая рука воздета, левая прижата к груди. Почему-то Вите казалось, что это — самые подходящие для Первосвященника и одеяние, и поза.

— Дай старичку шкуру на поноску, — сказал Витя. — Смотри: при помощи сканера переносим на экран твой свитер, убираем никому не нужную твою голову, находим в журналах благообразное лицо еврейского пророка, там этого добра навалом... — и старый хрен укомплектован!

Мы судорожно принялись листать журналы. Самым благообразным оказалось обнаруженное в "Джерузалем рипорт" бородатое лицо Хасана Абдель Халида, идеолога арабской террористической организации ХАМАС. Витя сказал, что, пролистай мы еще сто двадцать журналов, — более типичного еврейского лица не найти. Дадим ростром, сказал он, его и родственники не опознают, как после автомобильной катастрофы.

Что же касается нагрудной пластины с драгоценными камнями, украшавшей одеяние Первосвященника, тут уж все было проще простого: среди прочего хлама я зачем-то вывезла с бывшей родины коллекцию уральских самоцветов. Они и послужили так сказать прообразом драгоценных камней, символизирующих цвета двенадцати израилевых колен.

Рав Фихтенгольц был в восторге. Первосвященник наш иудейский с головой арабского террориста стоял на картинке в моем свитере, а нагрудную его пластину украшали уральские самоцветы — и очень кстати: моя, не Бог весть какая пышная, грудь Первосвященнику все же была великовата.

...К тому времени, о котором пойдет речь, мы с Витей делали местную газетенку о двенадцати страницах для моего пасторального городка в Иудейской пустыне.

Как бывает обычно, в самой гуще пасторали булькала весьма интенсивная криминальная каша, потому что за последние годы в городок приехало много наших людей. Так что самой интересной и насыщенной рубрикой была "Уголовная хроника". Раз в месяц я собирала данные о текущих безобразиях у начальника местного полицейского отделения, славного парня с простодушной улыбкой восточного хитреца... Звали его... Нет, пожалуй, для русского уха это имя

марокканского еврея может показаться издевательством. Короче, звали его Саси Сасон, и можно представить, какие кружева выплетал в процессе верстки сквернослов Витя из этого вполне заурядного имени, присобачивая к нему невинные приставки и ни о чем не подозревающие суффиксы.

Нельзя сказать, что сонный городок потрясали убийства из ревности, чудовищные насилия или еще какая-нибудь жуть. До приезда "русских" покой, в основном, нарушали арабы из соседних деревень, забредавшие на наши улицы и весело трясущие перед школьницами смуглыми своими причиндалами. Верстая подобные новости, Витя обычно напевал: "...а в солнечной Италии большие гениталии"... Ну и, конечно, марихуана. Смекалистые горожане выращивали ее в цветочных горшках на балконах, а то и на своих участках перед домом — мирные утехи садоводов-любителей. С приездом "наших" список правонарушений не то чтобы очень расширился, но — скажем так — значительно обогатился необычными и даже изысканными способами пренебречь такими пустяками, как закон.

Почему-то подоплекой большинства этих происшествий было эротическое восстание смятенной души. Чувствовалось, что мои бывшие соотечественники, ошарашенные местной сексуальной свободой, метались в клетке своих комсомольских предпочтений, мучительно пытаясь раздвинуть ее железные прутья, а то и сломать засов...

Раз в месяц я появлялась у Саси Сасона с диктофоном, и размеренным голосом он сообщал об угнанных автомобилях, о задержанных курцах марихуаны, об арабах, укравших на очередной стройке банку с побелкой или мешок с цементом. (В эти минуты сама себе я напоминала пчелу, собирающую мед с неказистых цветков, возросших на навозной куче.)

И наконец — он приберегал это напоследок, — простодушно улыбаясь, сообщал, стервец, что-нибудь "эндакое". При этом никогда не открывал имени правонарушителя, сопровождая протокольные сведения довольно странной для полицейского фразой. "К черту подробности! — восклицал Саси Сасон. — Подробностей не знает никто".

Что говорить, грошовый это был заказ, да и не могли мы требовать большего от местного муниципалитета с его провинциальным бюджетом. Впрочем, мы вкладывали в газетенку изрядную часть души.

Например, в рубрике "Вопросы-ответы" придумывали фамилии вопрошающих граждан. Тут уж мы порезвились. Поначалу использовали инициалы, затем — имена знакомых и родственников, затем — фамилии литературных героев, присобачивая к ним имена пожилых евреев. Самуил Вронский задавал вопросы Соломону Левину, а им обоим возражала Фира Каренина. Это проходило незамеченным.

В конце концов, мы обнаглели настолько, что стали использовать имена китайских и японских императоров.

Это, кстати, и привело нас к живым (еще живым) китайцам.

Однажды утром мне позвонили. Старческий голос выговаривал слова как-то слишком аккуратно. Я бы сказала: целомудренно. С родным языком так церемонно не обращаются.

— Госпожа такая-то, с вами говорит Яков Шенцер, председатель иерусалимского отделения общества выходцев из Китая. Будете ли вы столь любезны уделить мне толику вашего внимания?

— В смысле — встретиться? — спросила я, помолчав.

— Если вы будете столь любезны.

— Ладно, — сказала я. — А где?

И мы назначили встречу в одном из любимых мною местечек в центре Иерусалима — в доме доктора Авраама Тихо и жены его художницы Анны.

Яков Шенцер уже дожидался меня за столиком под четырехцветным полотняным тентом на каменной террасе старого дома.

Полуденное время благословенного октябрьского дня: сюда, в маленький парк, едва долетали дорожные шумы двух забитых транспортом и людьми улиц, меж которыми он был зажат, — улиц Яффо и Пророков.

Ветер, погуливая в старых соснах и молодых оливах, гонял вздрагивающие тени по траве парка, по каменным плитам террасы. Я любила и дом, и сад, и эту неуловимую грусть бездетности бывших хозяев, из-за которой, после смерти Анны, дом перешел во владение города и стал музеем.

Собственно, не узнать господина Шенцера было невозможно: на террасе сидела только отпускная парочка в солдатской форме и поодаль — у облупившихся каменных перил — старичок, даже издалека, даже на беглый первый взгляд — из благородных.

Его можно было принять за одного из немногих оставшихся в живых немецких евреев, которые живут в Рехавии, на концертах симфонической музыки сидят с нотами в руках, сверяя звучащее соло кларнета с написанной партией, и по утрам спускаются выпить свою чашечку кофе в такие вот уютные ресторанчики.

Он тоже узнал меня издалека — да я и предупредила, что буду в красном плаще и черной шляпе — хотя пора бы уже, пора оставить эти цвета карменситы.

И по тому, как торопливо он поднялся, как предупредительно отставил второй стул, на который мне предназначалось сесть, — короче, по всему его облику Яков Шенцер представал настолько достойным человеком, что сразу захотелось открыть ему глаза на то, что собой представляет "Джерузалем паблишинг корпорейшн" в настоящем ее виде, и посоветовать держаться от этой компании подальше.

Но я подошла, протянула руку, мы поулыбались, сели.

— Что вам заказать? — спросил он.

— Ничего, — отозвалась я благородно. На вид-то старичок был ухожен, но кто знает — что там у него за пенсия. Счетец обычно подавали здесь уважительный. — Ну, хорошо, закажите апельсиновый сок.

— И штрудл?..

Ах, он непрост был, этот господин, он знал это кафе, знал коронные блюда их кухни. Яблочный "Штрудл Анны" подавался здесь с пышным облаком взбитых сливок, на каком обычно сидит, свесив босые ножки, румяный и лысый бог с карикатур Жана Эффеля.

В конце концов, подумала я, почему бы нам и не делать вполне прилично этот их будущий заказ.

— Да, и штрудл, — сказала я благосклонно. — Но для начала откройте мне ваше отчество.

Он задумался и несколько мгновений молчал, словно припоминая.

— Моего отца звали Мойше, Моисей... значит...

— Значит, Моисеевич...

Официант — мальчик, тонкий, как вьюнок, с серьгой в ухе, с оранжевыми, торчащими, как сталагмиты, сосульками волос, разложил перед каждым меню, похожее на партитуру. С обложки мягко улыбалась сама хозяйка дома. Та же старая фотография, что висела на одной из стен зала внизу: женщина сидела полубоком, в широкополой шляпе и мантилье, подперев рукой подбородок и чуть прищурившись от солнца. Анна, кузина и жена знаменитого офтальмолога Авраама Тихо... Знаем мы эти браки, бесплодие родственных чресл... Закончить Венскую школу живописи, до ногтей мизинцев быть европейской женщиной — и всю жизнь писать голые пейзажи унылой Палестины, помогая мужу в глазной клинике.

— Ну, Яков Моисеевич, — сказала я, косясь на стопку желтовато-пыльных брошюр у его правого локтя. — Выкладывайте, что там у вас. Какое-нибудь периодическое издание Союза ветеранов?

— Да, я обращаюсь к вам как к главе "Джерузалем паблишинг".

— Кой черт — глава?! — перебила я. — Всего лишь наемный работник.

Он смешался.

— Но... вы уполномочены вести переговоры?..

— Это — да. Как решу, так и будет.

Собственно, я сказала чистую правду. Я действительно имела скромный статус наемного работника и действительно решала: в какую из предложенных нам авантюр пускаться, а в какую — не стоит. Потому что Витя не ощущал опасности и с огромным воодушевлением лез в первое попавшееся дерьмо.

— Кажется, по телефону я уже рассказывал в двух словах об организации выходцев из Китая... — Яков Моисеевич легким прикосновением сухих старческих пальцев двигал выложенную перед ним салфетку, на которой поблескивали тонкая вилочка для пирожных и чайная ложка. — Это люди, которые значительную часть жизни прожили в Китае, там прошло их детство, юность, молодость, а в тридцатые-сороковые годы они разбрелись по всему миру. В Израиле проживает сейчас около двух тысяч выходцев из Китая.

— Вы что — имеете в виду китайских евреев?

— Нет, я имею в виду русских евреев. Многие семьи русских евреев, которых волны революции и гражданской войны выбросили за пределы России.

После каждого третьего слова старик вскидывал на меня неуверенный взгляд, словно сверяясь — правильно ли повел разговор. Мне показалось, что он слегка волнуется.

— Но почему — в Китай? — спросила я. — Не в Берлин, не в Париж, не в Прагу...

— Бог мой! — воскликнул он, откинувшись на спинку стула. — И в Берлин, и в Париж, и — в Китай!.. Наша семья, например, жила во Владивостоке. У отца были торговые связи с Манчжурией... Так что... Впрочем, вот...— он подвинул ко мне стопку выцветших брошюр, — несколько номеров нашего "Бюллетеня". Вы можете взять их домой, изучить, и тогда многое для вас перестанет быть тайной за семью печатями...

Изучить! Кажется, он всерьез полагал, что мне нечем занять долгие зимние вечера в вятском имении дяди... Я подвинула к себе бледно отпечатанные газетки, даже на вид убогие и какие-то... старческие.

Нет, говорю я вам, надо было очень сдерживаться, чтобы не заржать, листая этот их "Бюллетень". На первой странице красовалась рубрика "Новости со всех концов земного шара". Знаете, что в этих новостях, к примеру, было? "Фаня Фиш в четверг почувствовала себя плохо, и ее госпитализировали и оперировали. Лу преданно ухаживал за ней. Милый, трогательный Лу! Пожелаем же нашей Фане скорейшего выздоровления на радость всем нам!".

— Кто такая Фаня Фиш? — спросила я.

— Это наша главная жертвовательница, — ответил он благоговейно, как ответил бы настоятель буддийского монастыря на вопрос идиота-туриста: что это там за огромная многорукая статуя.

— Но... если я не ошибаюсь, вы хотите коренным образом переделать газету, сделать ее привлекательной и интересной не только для членов вашей общины? — я была сияюще предупредительна.

— Да-да, конечно, но не за счет наших, так сказать, столпов существования,— твердо проговорил он. — Их радости и печали, соболезнования близким, когда они уходят в лучший мир, последние новости их уникальных биографий должны украшать первую страницу издания!

— Понятно, — сказала я. — У престарелой Фани Фиш есть богатые наследники, которые не должны забывать о славном прошлом отцов.

— Вы несколько брутальны, дитя мое, — грустно заметил он. — Что, впрочем, сообщает нашей беседе определенную ясность.

Он мне страшно нравился, милый старикан, — аккуратным помешиванием ложечкой в стакане, скупыми деликатными движениями и этим внятным проговариванием слов, таких ладных, ровненьких и чуть заплесневелых. Старческие чистые руки с плоскими, будто сточенными временем большими пальцами...

Нет, вблизи он не был похож на немецкого еврея. Те — суховаты, чужеваты, навеки остранены тяжелой виной — своим родным языком... Яков Моисеевич скорее похож был на дореволюционного русского интеллигента.

Ветер нежно раскачивал ветки молодой оливы, растущей прямо посреди террасы, недалеко от нашего столика. По каменным плитам металось солнце, пойманное в вязкий сачок теней.

Я полистала еще несколько номеров "Бюллетеня" — желтые страницы воспоминаний о каких-то харбинских еврейских гимназиях, о спортивных обществах, о благотворительных вечерах в пользу неимущих учеников реального училища в Шанхае...

— Яков Моисеевич, — сказала я решительно, — полагаю, за вшивых три тысячи шкалей в месяц мы перестроим вашу унылую развалюху в царские чертоги ослепительной высоты.

— Мне рекомендовали вас как человека дельного и надежного, — проговорил он сдержанно, как бы подводя черту под этой частью нашей беседы. Потом подозвал официанта и заказал еще сока, чем покорил меня совершенно.

— А в каком году вы бежали в Харбин? — спросила я, чтобы поддержать разговор.

— В двадцать втором, когда Владивосток заняли бандиты...

— Красная армия?

— Ну да, эти бандиты...

Я не стала говорить Якову Моисеевичу, что мой дед был одним из тех, кого он величал столь невежливо...

— Отец находился тогда в Харбине по делам. А семья — на даче, на шестнадцатой версте. Когда стало известно, что красные в городе, мать дала отцу телеграмму: "Оставайся на месте, плохая погода, можешь простудиться". А сама стала быстро собирать вещички. Мне был годик, сестре — пять. Няня у нас была, деревенская русская баба, Мария Спиридоновна, да... Прижала меня к себе — я у нее на руках сидел, в батистовой распашоночке, и говорит матери: "Не оставляй ты меня, старуху, здесь. Куда вы, туда и я. С вами жила, с вами умереть хочу...". Так, между прочим, оно и получилось. Няня умерла у нас в Харбине, в тридцать третьем году, глубокой старухой...

— И что же мать тогда, с двумя детьми, с нянькой?..

— Ну, примчались с дачи — мы жили во Владивостоке на Светланской улице, — а в дом-то нас уже не пустили. Даже фотографии вынести не дали. Ну, и сейф там, конечно же, деньги, акции... Неразбериха страшная вокруг стояла... слава Богу, сами спаслись. Когда добрались к отцу и он узнал, что все потеряно, он сказал матери: "Не бойся! Начинаем все сначала...". А мне годик исполнился. И больше я в России никогда не бывал. Никогда.

— У вас прекрасный русский. Поразительно...

— Я же говорю вам — няня, няня. Старая русская женщина... В детстве любимым присловьем моим было "Батюшки-светы!"... Откуда бы этому взяться у еврейского ребенка?

— Ну да, Арина Родионовна... Так вы из богатеньких... — сказала я.

— Милая, мой отец занимался коммерцией! Нашей семье принадлежали богатейшие угольные копи, ну и разные там предприятия: мыловаренный завод, табачная фабрика, узкоколейная ветка железной дороги "Тавричанка" — она шла от копей до порта... — Яков

Моисеевич покрутил ложечкой в чае, примял нежный темно-зеленый листочек свежей мяты в стакане и добавил меланхолично: — Ну, и пароход, разумеется...

— Досадно! — сказала я абсолютно искренне.

— Простите? — он поднял голову. — Да, мой отец был известный филантроп. Известный человек. Если собирали денег для бесприданницы — первым делом шли к нему... Много жертвовал на общество... Для этого организовывались благотворительные балы, знаете ли... К отцу подходили за пожертвованием, а он спрашивал — сколько дал Рутштейн? Рутштейн тоже был известный богач, но не так широк на пожертвования, как отец... Так вот, он спрашивает — сколько дал Рутштейн, — я даю вдвое противу него!.. Да, его все знали... Все обращались за помощью. Однажды вечером явилась молодая бледная дама в собольей шубе. Стала просить денег — мол, в Петербург отцу послать, там голод, есть совсем нечего. Я, говорит, верну обязательно... вот, шубу в залог оставлю! А отец ей: "Мадам, вы меня не обижайте. Здесь не ломбард..." Денег, конечно, дал... Отец ведь дважды с нуля свои капиталы поднимал. Он и во Владивосток попал после Сибири, нищим...

— Еврей в Сибири? Это забавно. Что он там делал?

— Жил на поселении. Его сослали за сионистскую деятельность. Так и везли целую группу сосланных сионистов... Какая-то старушка на полустанке подошла к вагону, посмотрела, перекрестилась, спрашивает: "И куда ж вас, жидов православненьких-то, гонят?".

Старые покосившиеся сосны вокруг террасы со свисающими лохмотьями спутанных длинных игл похожи были уже не на хвойные деревья, а на гигантские плакучие ивы. Оранжевая короста их бугристых стволов излучала мягкий свет, отчего сам воздух парка казался прозрачно-охристым. На густом плюще, облепившем неровную кладку каменного забора, на крутом боку рыжей глиняной амфоры у подножия ступеней, ведущих на террасу, лежали пятна полуденного солнца. Испарения влажной после вчерашнего дождя почвы смешивались с кондитерскими запахами из кухни: цукаты, кардамон, тягучая сладость ванильной пудры... а наверху, по синему фарфоровому озеру в берегах сосновых крон, несся лоскут легчайшего облака — батистовая распашонка, упущенная по течению нерадивой прачкой.

— Очень старый дом... — вдруг проговорил Яков Моисеевич, очевидно, проследив за моим взглядом... — Не такой, конечно, старый, как в Европе, но... середина прошлого века. Его, знаете, построил один богатый араб, Ага Рашид, специально, чтобы сдать внаем или продать... Вы, конечно, бывали внутри?.. После смерти Анны все переделали... При них как было: заходишь — направо библиотека, дальше — большая комната, где доктор Тихо принимал больных. Налево — кухня... А наверху — гостиная, столовая, спальни... Стряпню из кухни наверх доставляли в лифте... Но сначала домом владел некий Шапиро, еврей из Каменец-Подольска, известный богач, ювелир, антиквар, владелец нескольких лавок... Женат был на христианке, да и сам крестился...

— Выкрест — в Иерусалиме? В прошлом веке? Что-то не верится...

— Да-да, выкрест, богач, антиквар... В 1883 году взял и застрелился. Так-то...

— На какой почве?

— Да Бог его знает, дело темное... Одни говорили — разорился, другие, что прочел ненароком какое-то письмо жены, не ему адресованное...

— С письмами жен следует соблюдать сугубую осторожность... — проговорила я, подыгрывая его манере повествования.

Он грустно кивнул:

— Застрелился бедняга... Будто место освободил. Ведь в том же году и чуть ли не в этот же день в моравском городишке Восковиц родился мальчик, Авраам Тихо, которому суждено было купить этот дом и прожить в нем с Анной счастливо сорок лет...

— А вы их знали? — спросила я.

— Конечно... Доктора Тихо знали не только на Ближнем Востоке. Он ведь, знаете, значительно поубавил здесь трахомы... К нему приезжали даже из Индии... Они устраивали милые приемы, я иногда здесь бывал... В последние его годы доктор был уже тяжко болен, практически недвижен, и Анна старалась хоть чем-то украсить его жизнь. Она пережила его на целых двадцать лет.

— Она действительно готовила штрудл?

Старик улыбнулся:

— О, не помню. Не думаю. Тогда для этого существовали кухарки...

Яков Моисеевич перевел светлый старческий взгляд на стол, где лежала стопка "Бюллетеней". И как бы очнулся.

— Да! Так вот, полагаю, надо бы представить вашу творческую группу членам ЦЕНТРА. Сколько человек в совете директоров "Джерузалем паблишинг корпорейшн"?

Я внимательно и ласково посмотрела ему в глаза.

— Яков Моисеевич, — сказала я. — Не так торжественно, умоляю вас. За вывеской, название которой вы проговариваете, обаятельно грассируя, скрываются — хотя и вовсе не скрываются — двое джентльменов удачи: я и Витя, мой график. И мы, ей-богу, можем делать вам приличную газету, если вы не станете сильно сопротивляться.

— По этому поводу мы и должны начать настоятельные, но осторожные переговоры с ЦЕНТРОМ.

— Это звучит загадочно, — заметила я.

— О, вы не должны тревожиться. Все — милейшие люди уже весьма преклонного возраста... Видите ли, смысл жизни они видят в сохранении связей между членами нашей общины... И вот этот "Бюллетень" — тоже часть их жизни... Я понимаю, он выглядит несколько... несовременно. Может быть, поэтому в последнее время подписка на него сильно упала. Тут, конечно же, и естественные причины: многие из стариков уже покинули наши ряды, а дети и внуки, знаете ли, читают уже на иврите, английском... Но люди, о которых я упомянул... с величайшим, поверьте мне, уважением, — собственноручно делают наш "Бюллетень" с тридцать девятого, да-да, милая! — с тридцать девятого года. Это их детище... Вы понимаете, что я хочу сказать?

Я не ответила. Было бы неделикатно говорить Якову Моисеевичу, что прежде, чем обращаться к нам с предложением реорганизовать китайское детище, следовало бы тихо удавить его папаш.

— Но ведь это хлам, Яков Моисеевич, — проникновенносказала я, — хлам, не интересный даже этнографам, поскольку вы не китайцы, а очередные евреи с очередным плачем на реках вавилонских. Послушайте, дайте нам в руки этот труп, мы вернем его к жизни. Его будут читать не только ваши китайцы, дети китайцев и внуки китайцев. Мы вытянем вас из стоячего болота умирающих воспоминаний, мы повернем вас к миру и заставим, чтобы мир обратил на вас пристальный взор! Литература, политика, полемические статьи...

— Боюсь, что ЦЕНТР не воспримет этой идеи, — проговорил он озабоченно.

Провалиться мне на месте, он так и называл эту тель-авивскую престарелую компашку — ЦЕНТР!

Я ласково спросила:

— А похерить ЦЕНТР?

— Не удастся, — вздохнул он. — Средства сосредоточены в руках Мориса Лурье, нашего председателя. Он человек с принципами.

— Эх, Яков Моисеевич, — сказала я, — генетическая предопределенность, робость роковая... Ваш отец, богач, владелец предприятий, угольных копей и парохода, бежал, все бросив, испугавшись судьбы. А мой дед, голодранец и хулиган, остался в России и сражался — неважно, с каким успехом — за счастье русского народа...

— Что не отменяет того неоспоримого факта, — задумчиво заметил он, — что мы с вами сидим сейчас, в пять тысяч семьсот пятьдесят восьмом году от сотворения мира, в городе Иерушалаиме, где и положено нам с вами сидеть...

— Что не отменяет того неоспоримого факта, что все-таки вы нанимаете меня, а не наоборот, — сказала я. — Та же генетическая предопределенность, только иной поворот сюжета, мм?..

Он подозвал официанта и на мое порывистое движение достать из сумки кошелек успокаивающе поднял ладонь. Затем встал, надел висевшую на спинке стула куртку, основательно приладил на голове кожаную кепочку и сразу из разряда дореволюционных русских интеллигентов перешел в разряд еврейских мастеровых. Я подумала, что в процессе нашей довольно долгой беседы он становился все ближе к народу, и улыбнулась этой странной мысли. Во всяком случае, кепочка делала его проще, много проще.

— А вот этот ваш... вы сказали... Витя? — спросил он, и в голосе его слышалась тревога.

— Я его подготовлю! — торопливо заверила я, не вдаваясь в подробности, что сие значит. — На переговоры мы приедем вдвоем. Как я поняла, офис вашей организации находится в Тель-Авиве?

— Да, — сказал он. — И поверьте, мне тоже придется их кое к чему подготовить.

Так началась эта идиотская история, которая, собственно, ничем и не закончилась, но в то время мы с Витей смотрели в будущее с наивной надеждой детей, не подозревающих о том, что жизнь конечна в любом ее проявлении.

Особенно Витя — он обладал прямо-таки неистощимым энтузиазмом придурка. Услышав о результатах моего предварительного осторожного осмотра китайского поля деятельности, он

загорелся, стал мечтать о том, как постепенно тощий "Бюллетень" перерастет в солидный альманах, межобщинный вестник культур... ну, и прочая бодяга. Хотя, не спорю — сладкие это были мечты.

— Надо позвонить Черкасскому, — деловито рассуждал он, — попросить широкий обзор китайской литературы последней четверти девятнадцатого века.

— Почему последней? — спрашивала я, — и почему девятнадцатого?

— Так будет основательней! — запальчиво отвечал Витя. — Читатель обязан представить себе ситуацию, которая предшествовала времени заселения Китая русскими евреями!

— Проснись, — убеждала я, — на сегодняшний день мы имеем только Фаню Фиш, тщательно оберегаемую ЦЕНТРОМ, и таинственного Лу, который преданно ухаживал за ней...

Мне часто хотелось его разбудить. Витя и вправду все время видел сны. Особенно часто он видел во сне покойного отца. Страстный коммунист, верный ленинец, окружной прокурор — тот продолжал в Витиных снах преображать мир. Например, недавно покрасил в синий цвет его персидскую кошку Лузу. И во сне Витя все пытался урезонить отца. Ну, хорошо, говорил он, тебя одолел живописный зуд — так можно ж было попробовать, покрасить легонько в каком-нибудь одном месте, я знаю, кончик хвоста, два-три штриха... Ну, и так далее...

Витя представлял собой довольно редкий тип ликующего мизантропа. Это совсем не взаимоисключающие понятия. Он, конечно, ненавидел жизнь и все ее сюрпризы, но с затаенным злорадством ждал, что будет еще гаже. Не может не быть. И жизнь его в этом не разочаровывала. Тогда Витя восклицал ликующим голосом: "А! Что я тебе говорил?!!".

Словом, этот человек жил так, будто ежеминутно напрашивался на мордобой. И когда его настоятельную просьбу удовлетворяли, он с нескрываемым мрачным удовольствием размазывал по лицу кровавые сопли.

Путем долгих челночных переговоров: Яков Моисеевич — ЦЕНТР — Витя мы наконец договорились о встрече в Тель-Авиве на ближайшую среду.

Ровно в двенадцать я стояла на центральной автобусной станции у окошка "Информации", как договорились. В двенадцать пятнадцать меня охватила ярость, в полпервого я страшно взволновалась (при всех своих недостатках Витя был точен, как пущенный маятник). Без четверти час я уже носилась по автобусной станции, как раненая акула по прибрежной акватории. И когда поняла, что сегодняшняя "встреча в верхах" сорвалась, вдруг увидела главу "Джерузалем паблишинг корпорейшн". Он несся на меня всклокоченный, с остекленелым взглядом, полосатый шарф хомутом болтался на небритой шее.

— В полиции был! — тяжело дыша, сказал он.

Я молча смотрела на него.

— Меня взяли на улице за кражу женского пальто.

— Что-о? С какой стати?! — заорала я.

— Оно было на мне надето.

Я молчала... Я молча на него смотрела.

— Оно и сейчас на мне. Вот оно... Я купил его в комиссионке, на Алленби. Кто мог тогда подумать, — сказал Витя жалобно, — что оно женское и краденое! Понимаешь, я иду, а тут в меня вцепляется какая-то баба, хватает за хлястик и орет, что я украл у нее пальто... Она, оказывается, сама пришивала хлястик черными нитками...

Я потащила его к автобусу, потому что мы и так уж опаздывали на час. Что могли подумать в ЦЕНТРЕ о нашей солидной корпорации? Всю дорогу я потратила на инструктаж, а такого занятия врагу не пожелаю, потому что убедить Витю в чем-то по-хорошему практически невозможно. Он не понимает доводов, не следит за логическими ходами собеседника, не слышит аргументов. Витю остановить может только пуля или кулак. В переносном, конечно, смысле. Поэтому время от времени пассажиры автобуса вздрагивали от полузадушенного вопля: "Молчать!!" и оборачивались назад, где сидели разъяренная дама в черной шляпе и красном плаще, и небритый толстяк с растерянной глупой ухмылкой в женском, как выяснилось, пальто, застегнутом на одну пуговицу.

Затем минут двадцать мы рыскали среди трехэтажных особняков на улочках старого Тель-Авива. Витя ругался и поминутно восклицал: "Ну, где их чертова пагода?!" — как будто в том, что мы безнадежно опаздывали, был виноват не он сам, со своим краденым пальто, а один из императоров династии Мин.

Милый Яков Моисеевич Шенцер ждал на крыльце одного из тех скучных домов в стиле "баухауз", которыми была застроена вся улица Грузенберг, да и весь старый Тель-Авив. Он приветственно замахал обеими руками, заулыбался, снял свою кепочку мастерового.

— Ради Бога, простите, мы вынуждены подождать господина Лурье. Пойдемте, я предложу вам чаю.

Эти полутемные коридоры, старые двери с крашенными густой охрой деревянными косяками, маленькая кухонька, куда завел нас Яков Моисеевич — угощаться чаем, — все напоминало их нелепый "Бюллетень", от всего веяло заброшенностью, никчемностью, надоедливым стариковством.

— Рассаживайтесь, пожалуйста... — мне он предложил старый венский стул, какие стояли на кухне у моей бабушки в Ташкенте, и после долгих поисков вытащил из-под стола для Вити деревянный табурет, крашенный зеленой краской. На столе, застеленном дешевой клеенкой, вытертой на сгибах, стояла вазочка с вафлями.

— Чувствуйте себя свободно... Буквально минут через пять-десять явится Морис.

— А разве не на три у нас было договорено? — отдуваясь, спросил Витя, как будто скандал в полиции произошел не с ним, а с кем-то совершенно другим, незнакомым, не нашего круга человеком.

Я грозно молча выкатила на него глаза, и он заткнулся. А Яков Моисеевич — ему отчего-то было не по себе, я это чувствовала, — сказал:

— Да, видите ли, возникли определенные обстоятельства... Впрочем, сейчас я пришлю Алика, он похлопочет о чае и... буквально минут через пять...

Когда он вышел, я сказала:

— Если ты сейчас же...

— Ладно, ладно!..

— ...то я поворачиваюсь и...

— А что я такого сказал?!

— ...если, конечно, ты хочешь получить этот заказ...

— Но, учти, меньше чем на семь тысяч я не...

— ...а не сесть в долговую тюрьму на веки вечные...

Тут в кухоньку боком протиснулся одутловатый человек лет пятидесяти, стриженный под школьника, с лицом пожилой российской домработницы. Он улыбался. Подал и мне, и Вите теплую ладонь горочкой:

— Алик... Алик...

— Виктор Гуревич, — сказал Витя сухо. Грязный полосатый шарф болтался на его небритой шее, как плохо освежеванная шкура зебры. — Генеральный директор "Джерузалем паблишинг корпорейшн".

Алик засмущался, одернул вязаную душегрейку на животе и стал услужливо и неповоротливо заваривать для нас чай.

Когда мы остались одни, Витя шумно отхлебнул из чашки и сказал:

— Такие, как этот, женятся, чтобы увидеть голую женщину.

— Кстати, вы очень похожи, — отозвалась я. — Только он поопрятней.

Морис Эдуардович Лурье оказался сухопарым и неприятно энергичным стариком, из тех, кто в любой ситуации любое дело берет в свои распорядительные руки. О том, что он наконец явился, мы узнали по деятельному вихрю, пронесшемуся по всему этажу, который занимала резиденция китайцев: захлопали двери, по коридорам протопали несколько пар ног, промелькнули мимо кухни две какие-то дамы, и донеслась издали сумятица голосов.

Нас пригласили в библиотеку — большую сумрачную комнату, заставленную темного дерева книжными шкафами. За стеклами тускло поблескивали полустертыми золотыми буквами высокие тома дореволюционных изданий. Эту допотопную обстановочку игриво оживляли два бумажных желто-синих китайских фонаря, очевидно, подаренных членами какой-нибудь китайской делегации на очередном торжественном приеме.

Договаривающиеся стороны расселись за круглым столом, застеленным огромной — до полу — красной скатертью с вышитыми золотыми пагодами. Это было страшно удобно: я посадила Витю справа от себя (правая нога у меня толчковая), чтобы, под прикрытием скатерти, направлять переговоры в безопасное русло, придавая им плавное течение.

Кроме Мориса Эдуардовича за столом поместились две пожилые дамы, как выяснилось в дальнейшем — глухонемые, во всяком случае, я не услышала от них ни единого слова. Обе были мелкокудрявы, и обе — в очках, только одна — жгуче крашенная брюнетка, а другая снежно-седая. Обе смотрели на Мориса с обожанием.

Напротив сидел любезнейший Яков Моисеевич и, тревожно-понимающе улыбаясь, посматривал на меня. Кажется, и он был не прочь пару раз долбануть под столом Мориса Лурье. Но не смел. Да и воспитание получил другое.

Итак, начал Морис Эдуардович, некоторые члены ЦЕНТРА считают, что наш "Бюллетень" несколько отстал от времени. У него, признаться, другой взгляд на время, на печатный их орган, на то, каким должен быть "Бюллетень", объединяющий членов столь уникальной...

Овечки Мориса преданно кивали каждому его слову. Карбонарий Яков Моисеевич нервно потирал левую ладонь большим пальцем правой. Ага, вот, значит, как у них здесь распределяются роли...

Осторожность! Сугубая осторожность и медленное — по-пластунски — продвижение к заветной китайской кассе.

Я улыбалась, кивала. Кивала, кивала, кивала...

Он широким жестом поводил рукой в сторону книжных шкафов, вскакивал, открывал ту или другую стеклянную дверцу, доставал ту или иную картонную папку, перебирал желтые ветхие вырезки, фотографии, копии документов...

(Аккуратно, невесомо... — говорила я себе... — ползком, замирая то и дело, чтобы не спугнуть ни этих овечек, ни дракона, сторожащего сундук с... драхмами? Что там у них за валюта, кстати, не помню...)

Яков Моисеевич поморщился и сказал:

— Морис, ближе к делу, ради Бога!

Я предостерегающе ему улыбнулась. Потом одарила улыбкой пожилых овечек.

Если уважаемый Морис Эдуардович закончил, я, с его позволения, хотела бы изложить несколько мыслей по этому поводу. Безусловно, "Бюллетень"— уникальное явление в том, какую объединяющую функцию и ля-ля-ля-ля-ля... (Перебежками, нежно, ласково!)

Те драгоценные сведения о жизни неповторимой общности выходцев... и ля-ля-ля-ля-ля. (Невесомо, едва касаясь перстами! На кончиках пальцев!)

Ценнейший материал, который представляют собой воспоминания, публикуемые на страницах... и-ля-ля-ля — три рубля... (Сон навеять, сладостный сон на дракона, и тогда...)

Мы со своей стороны — то есть Совет директоров "Джерузалем паблишинг корпорейшн", готовы взять на себя ответственность за сохранность уникальных материалов... (я, повторяя жест Мориса Эдуардовича, широко повела рукой в сторону книжных шкафов. Так гипнотизер властно насылает на вас сновидение. Кстати, одна из овечек — белая — послушно закрыла выпуклые черные глаза и поникла пожилой кудрявой головой)... и обязаться регулярно публиковать на страницах обновленного "Бюллетеня"...

И тут в переговоры вступил генеральный директор "Джерузалем паблишинг корпорейшн". Он издал свой дикий смешок, столь напоминающий непристойный звук во время проповеди в кафедральной тишине собора, и сказал:

— А нам, татарам, все равно — что е..ть подтаскивать, что ё..ных оттаскивать.

Белая овечка испуганно открыла глаза. Черная тряхнула кудряшками. А я сильно пнула его ногой под столом.

Переговоры побежали живее. Как будто взмокшие от жары (помещение отапливалось, старички грели кости) участники конгресса скинули фраки, расслабили галстуки и закатали рукава рубашек.

Пожилой школьник, тот, что заваривал (и плохо заварил!) для нас чай, принес всем минеральной воды.

Витя, как всегда, лез перебивать собеседников, с чудовищным апломбом нес чудовищную ахинею и с ходу заламывал цены. Старички валились со стульев.

Известно ли уважаемому ЦЕНТРУ, что на современном издательском рынке газеты давно уже верстают на компьютерах, а тот способ, которым делается "Бюллетень"...

— Ничего, ничего, — сказал Морис Эдуардович, — как-нибудь, мы потихоньку, по старинке. В типографии, где выполняют наш заказ, стоит старый добрый линотип...

— Что это за типография? — спросил Витя.

— "Дети Харбина", — невозмутимо отвечал старик. — Мы сотрудничаем с ними тридцать девять лет...

— А когда дети Харбина уйдут в лучший мир? — спросил Витя.

И я опять пнула его под столом. Но он закусил удила, хамил и брызгал слюной на китайцев.

— А заголовки?! — орал он. — Как вы делаете заголовки, виньетки и прочее?!

— Там есть наборная ручная касса.

— Наборная! Ручная!! Касса?!! Ой, держите меня! А трамвайной конки там нет?

В общем, я отбила все ноги об этого идиота. Но, как ни странно, он расшевелил старокитайскую братию, запальчиво живописуя, какие широкие дали, какие интеллектуальные выси придаст полудохлому "Бюллетеню" "Джерузалем паблишинг корпорейшн". Он яростно листал свой ежедневник, в каждом столбце которого было написано: "22.00 — парить ноги!!", изображал поиск телефонов высокопоставленных своих друзей, топал ногами в ответ на малейшую попытку китайцев вставить хоть слово — короче, порвал удила и несся во весь дух. Кстати, в полемике Витя несколько раз цитировал древнекитайского поэта Цао Чжи и кое-что из народных песен юэфу, что вначале произвело на китайцев парализующее впечатление.

(Не забыла ли я упомянуть, что Витя страшно образован? Не боясь показаться тенденциозной, я бы сказала, что он никчемно чудовищно образован. В его памяти, как товары на складе большого сельмага, громоздятся завалы самых разнообразных сведений, например, валяется

никому не нужный, как старый макинтош на пыльном чердаке, польский язык. Ежеминутно он спотыкается о свое высшее музыкальное образование, что стоит поперек любого естественного движения, как колченогий табурет, на который и сесть-то опасно... Зачем-то он знает латынь... во всяком случае, читает Лукреция в подлиннике... и все эти дикие сведения невозможно приспособить ни к какому делу, и не приносят они радости ни их незадачливому носильщику, ни тому, на кого он вдруг захочет их обрушить... Поскольку в течение ряда лет мы публиковали в незабвенной нашей, замечательной газете переводы известного китаиста Леонида Черкасского, Витя много чего запомнил самым естественным порядком. Во всяком случае, не могу заподозрить, что к встрече с китайцами он специально учил что-то наизусть.)

Короче, когда, помахивая короткопалой ладошкой, он певуче продекламировал: "В Лояне ван Жэньчэна почил. В седьмом месяце вместе с ваном Бома мы возвращались в свои уделы...", — вот тогда Яков Моисеевич опомнился и сказал:

— Нет-нет, господа, вы китайцами не увлекайтесь. Речь идет о еврейском Шанхае, еврейском Харбине.

И Витя, продолжая держать ладонь на поэтическом отлете, спокойно отозвался:

— А нам, татарам, все равно — что санаторий, что крематорий.

Я в который раз лягнула его под столом ногою.

Магометанская тема в его поэтике была для меня некоторым сюрпризом.

Итак, первая встреча с китайцами не закончилась ничем позитивным. (Позитивным итогом Витя называл обычно свежевыписанный чек на имя "Джерузалем паблишинг корпорейшн".) Так вот, чека не было. В конце нашей бурной встречи неукротимый Морис Эдуардович попросил представить подробную смету и проект издания. Они все изучат и взвесят.

Мы брели по улице Грузенберг в поисках приличной забегаловки, где можно было бы выпить кофе и обсудить наше положение.

— Мне опять снился отец, — проговорил Витя сокрушенно. — Он не давал разрешения на выезд, и я кричал, что убью его. И убил.

— То есть — как? — поморщившись, спросила я.

— Задушил, — обронил он просто.

— Слушай, сколько лет назад умер отец?

— Пятнадцать, — вздохнув, сказал Витя.

— И ты до сих пор сводишь с ним счеты?

— А пусть не лезет в мою жизнь! — огрызнулся он.

Улица Грузенберг поднималась вверх довольно крутой горкой, и по ней, ожесточенно орудуя локтями, поднимался в коляске инвалид, каких в нашей сторонушке немало благодаря войнам, армейским будням, гражданским взрывам и количеству автокатастроф на душу нервного

населения. Он, мучительно напрягаясь, вращал ладонями передние колеса своего нехитрого транспорта, локти ходили тяжело, как поршни.

Мы с Витей подбежали, навалились и покатили коляску вверх. Калека страшно обрадовался.

— Ого-го, ребята! — кричал он, отирая ладонью взмокший лоб, — лошадки славные! Вперед, мои кони! Я задам вам овса!

А Витя стал горланить из Цао Чжи, который родился во втором, а умер в третьем веке нашей плебейской эры, и переводы с которого мы печатали когда-то в незабвенной нашей газете: "На холм по тропинке! Бредем в облака! И конь мой теряет! Последние силы! Последние силы! ...Но конь добредет! А я изнемог! От печали и муки!..".

Так мы катили этого безногого парня, а он командовал — куда ехать, яростно ругал муниципалитет за переполненные мусорные баки, хохотал, распевал и вообще — кайфовал на всю катушку.

Между тем мы продолжали делать городскую газетку, внося своей "Уголовной хроникой" изрядное оживление в благопристойную жизнь русской общины города.

Например, в октябре сенсацией стало дело ночного охранника одного из предприятий, специализирующихся на производстве подгузников для младенцев и лежачих стариков. Этот парень развлекался долгими эротическими беседами по известным телефонам. Так он коротал свои унылые дежурства, пока начальство не насторожили телефонные счета на астрономическую сумму. Были наняты сыщики, и выяснилось, что этот милый человек развлекался не только с местными телефонными гуриями, но и до Америки дотягивался, так как английским владел свободно. В целом он был интеллигентным человеком, если вы не побрезгуете этим определением в данной ситуации. Словом, выяснилось, что он трахал начальство по большому счету. По действительно большому счету.

Саси Сасон невозмутимо излагал сухие данные спокойным голосом, как бы призванным внушать гражданам веру в надежность наших правоохранительных органов.

— А... личность задержанного? — спросила я.

— К черту подробности! — отмахнулся Саси и, вздохнув, добавил: — Подробностей не знает никто.

Нам с Витей очень нравилась эта история. Мы даже хотели организовать в газете "круглый стол" на темы сексуального воспитания новых репатриантов. Дискуссию, так сказать. Но потом одумались: в подобной дискуссии без подробностей не обойтись, а где их взять, эти подробности?..

Да, история многозначительная... Почему-то я усматривала почти неощутимую трагическую связь между дневным производством подгузников и ночными всхлипами этого непутевого охранника. Как будто, находясь посередине между беспамятным младенчеством и полоумной старческой немощью, он тщетно пытался заполнить часы своего одинокого и бессмысленного бдения телефонными судорогами эфемерной любви.

Дней через пять после встречи в Тель-Авиве позвонил Яков Моисеевич. Нет, ничего определенного в ЦЕНТРЕ еще не решили, но он хотел бы встретиться со мной еще раз и

обговорить кое-какие частности. Если я не возражаю, там же, в доме доктора Тихо и жены его, художницы Анны.

Должна ли я пригласить на беседу генерального ди...?

— О, нет! — воскликнул он с неприличной поспешностью, — я бы попросил вас...

К дому доктора Тихо можно было подойти по-разному. Со стороны улицы рава Кука через тихий тупик с рядом молоденьких олив, растущих в каменных кадках, мимо здания, где, собственно, и жил по соседству с доктором умница Кук, пройти в железные распахнутые ворота и, обогнув торец дома с окном библиотеки, очутиться на террасе. Появиться на сцене из-за боковой кулисы. А можно пройти задворками Яффо, через мусорный узкий проулочек, из которого сразу попадаешь в маленький парк, и тогда весь дом с террасой открывается вам как из партера, а сходство со сценой дополняют ведущие на террасу каменные ступени.

Я поднялась по ним и оказалась за спиною Якова Моисеевича, который уже заказал два апельсиновых сока и, ожидая меня, листал "Гаарец". Его кожаная кепка лежала на соседнем стуле, и ветер свободно ошкуривал и полировал небольшую опрятную лысину в довольно густой еще седине, этим неуловимо работая на образ мастерового.

— Ваш красный плащ, — проговорил Яков Моисеевич, складывая газету,— ваш мятежный красный плащ напоминает мне времена харбинской молодости... В таком плаще щеголяла когда-то одна юная особа, к которой все мы были неравнодушны... Она рисовала, пела, сочиняла стихи. Я не решился без вас заказывать штрудель Анны.

— Так закажите сейчас же, — сказала я. — Только на сей раз позвольте мне заплатить.

— Боже упаси! — спокойно возразил он.

После вчерашнего дождя черные космы плакучих сосен свисали еще безнадежней. Солнце уже покидало сад, взбегая по тусклому серебру стволов все выше, к макушкам деревьев...

С каждой минутой между стволами уплотнялся пепел сумерек, и скоро должны были затеплиться фонари в парке и на террасе.

— Что, Яков Моисеевич, не понравились мы ЦЕНТРУ? — спросила я напрямик.

Он помолчал, внимательно распределяя вилочкой облако взбитых сливок по коричневой корочке штруделя.

— Видите ли, откровенно, — мягко начал он, — все, что вы говорили по поводу устарелости "Бюллетеня", звучит и справедливо, и убедительно. Да, скорее всего самым разумным было бы перейти на современный метод его издания... Но... понимаете, во всем этом новом процессе ни я, ни Морис, как ни пытались, абсолютно не в состоянии представить Алика.

— Чего?!

— Понимаете, все перемены ни в коем случае не должны задеть Алика.

— А кто это? — спросила я, несколько оторопевшая от китайских новостей.

— Ну... как же! Вам его представили...

Я вспомнила бабское бледное лицо, стриженую макушку школьника, мягкие ручки, суетливым и тоже каким-то женским движением натягивающие на живот вязаный жилет...

Мне захотелось плюнуть и уйти.

— А при чем тут Алик? — грубо спросила я.

— Так он — метранпаж. Собственно, Алик и клеит "Бюллетень". ...Это— прямая его обязанность.

— Алика — на пенсию. С почетом, — с вкрадчивой злостью проговорила я.

— Он и так получает пенсию, — сдержанно и грустно заметил Яков Моисеевич, — по инвалидности.

Мы оба замолчали. Убейте меня, я не понимала, что хотят от нас с Витей эти чокнутые старики, именующие себя ЦЕНТРОМ. И уже догадывалась — чем завершится очередной наш мираж в пустыне. Стоило поберечь время, раскланяться и пойти по делам, тем более что на этот вечер я наметила себе решение двух неотложных дел.

Неподалеку, у дверей дома, перекинув ногу на ногу, сидел охранник, пианист из Свердловска Миша Кернер. У него, как обычно, был отсутствующий вид... Миша обладал редкостным туше, которое невозможно выработать, а нужно с ним родиться. Коньком его был Шопен. Несколько раз он выступал здесь же, по пятницам. Однажды исполнял все 24 прелюдии Шопена. Я была на концерте и, помнится, глядя на черный Мишин фрак и вдохновенные руки, ласкающие клавиатуру, никак не могла избавиться от мысли — где в данный момент он оставил куртку охранника и пистолет, который по закону нигде нельзя оставлять, и не высчитают ли у него из жалованья часы концерта...

Рядом с Мишей стоял замызганный хиппи в грязной майке и продуваемых джинсах и, покачиваясь, бормотал что-то по-английски, пытаясь рассказать Мише свою жизнь. У Миши самого была вполне цветистая судьба, он не хотел задушевных бесед на иностранном языке. Он отворачивался от накуренного марихуаной хиппи и тоскливо говорил по-русски: "Чувак, иди себе, а? Чувак, смотри, ты замерз совсем... Чувак, холодно, летом поговорим..."

— А вы и между собой говорили по-русски? — вдруг спросила я.

— Когда?

— Ну вот в детстве, в Харбине...

Яков Моисеевич оживился.

— Да по-каковски же еще? Деточка, Харбин был русским культурным городом! У нас в еврейской школе преподавание велось на русском языке по программе русской гимназии. Мы даже ставили спектакли — "Маскарад", например, пьесы Островского, "Бориса Годунова"... В "Годунове" Самозванца играл Мотька Гершензон. Помните, то место: "Ты заменишь мне царскую корону!"... Я был суфлером и подсказал Мотьке — "корову"... "Ты заменишь мне царскую корову!"... Родители Мотьки, понимаете, держали молочную ферму... — Яков Моисеевич захихикал со свежим, даже изумленным удовольствием, будто подшутил над Мотькой не шестьдесят лет, а минут двадцать назад... — Да... Мы изучали русскую литературу как следует.

Учителями-то все были белые офицеры, их там после революции накопилось — пруд пруди... Русских в Харбине около ста тысяч насчитывалось. А еврейская община — тысяч двадцать пять. И учтите, там же размещалась главная контора КВЖД. Кстати, знаете, как расшифровывали это название в то время? "Китайцы возят жидов даром"... Да, КВЖД... шла от границы России до станции Манчжурия, пересекала реку Сунгари... Вы знаете что-либо об этих краях?

— Не помню, что-то читала...

— Ну! Река Сунгари... могучая, полноводная — несколько километров в ширину. А рыбы сколько! Впадает в Амур... Изгибается дугой, вот так... — он показал вилкой на красной скатерти... — Главный приток — Нони... Так вот, КВЖД пересекала Сунгари. На пересечении возник Харбин. Выгодное географическое положение... Прекраснейший город Китая возник из маленькой рыбацкой деревушки... А для европейцев Китай был рынком, и железная дорога играла в этом решающую роль. Русские добыли концессию на строительство железной дороги, и в 1898 году строительство началось. Выглядело это так — по обе стороны от полотна шла полоса отчуждения — по 15 километров. Русские получили экстерриториальные права. Понимаете? Свой суд, свое управление, охрана русская — русская автономия... На правом берегу Сунгари был район, Пристань назывался. Дальше, наверху — Новый город. Там в основном и жили русские... Магазины принадлежали евреям и грекам. Извозчики кричали: "Гривенник в Палестину!" — из-за того, что там много евреев жило... У нас говорили: "Харбин-папа, Одесса-мама...".

Миша заметил меня, помахал рукой. Я улыбнулась в ответ. Надо бы подойти, поговорить, спросить о ближайших его концертах.

— Очень интересно... — вежливо проговорила я. — Послушайте, Яков Моисеевич... Знаете, как сегодня делают газету? Витя отлично верстает полосы в программе "Кварк", посылает мне по модему на вычитку, я вношу правку, отсылаю ему назад, и все это хозяйство отправляется в современную типографию, где печатается с бумажных плат... Черт возьми, мы удешевим вам издание! Мы сохраним вам ваши китайские драхмы! Но, к сожалению, для издания "Бюллетеня" цивилизованным образом Алик абсолютно не нужен. Он нам — как чирий на глазу. Ну, хотите, мы внесем его имя в "Бюллетень"? Он будет числиться в редколлегии.

— Алик должен не числиться, а работать, — сказал старик.

— Конкретно: что именно он будет делать?

— Не знаю. Алик должен работать, — тихо и твердо повторил он.

Мы замолчали вновь: я — обозленно-растерянно, он— смиренно-грустно. Что мешало мне уйти, ведь в одно мгновение я вдруг поняла, что китайцы, во-первых, и сами не знают, что им делать со своим странным наследием, во-вторых, до дрожи боятся любого вторжения в их маленькую затхлую норку. Но я все сидела, рассеянно подбирая вилочкой с тарелки липкие крошки штрудла.

— Знаете что, — сказал Яков Моисеевич, — надо заказать булочки с маслом, они очень вкусно готовят здесь чесночное масло... Эти булочки почему-то напоминают мне шао-бин, лепешки моего детства, такие, посыпанные травкой, не помню названия, с соленой начинкой... Их продавали с лотков, на вокзале. Мы тогда жили в Мукдене, и родители посылали меня к вокзальным лоткам за лепешками шао-бин... Мне было лет семь... И я страшно любил поезда. Бывало, стою по часу, глазею на вагоны. Классы различались по полосам, наведенным под окнами. Первый класс —

белая полоса, второй — голубая, третий класс, жесткий вагон — красная полоса... Американское производство...

Официант принес тарелку с четырьмя свернутыми пухлой розой булками и розетку с фирменным маслом. Не только чеснок, но и укроп, и кинзу добавляла местная повариха в это масло. Яков Моисеевич разрезал булочку, подцепил ножом желтый шмат и стал основательно утрамбовывать его в рассеченное брюхо булки. И вдруг протянул мне требовательным жестом моего деда. Этим, почти уже забытым мною жестом... Я растерялась, растрогалась, пробормотала что-то и послушно взяла булочку, хотя давно уже сидела на диете и мучного старалась не есть.

— Между прочим, я был свидетелем знаменитого взрыва на мукденском вокзале, когда убили старого маршала Джан Цзо-Линя... Вам, конечно, это имя ничего не говорит... Джан Цзо-Линь, он был кавалерийским офицером при китайской императорской армии... А после того, как свергли последнего китайского императора династии Мин — это произошло в 1911,— году, Джан Цзо-Линь стал просто бандитом...

— А куда делся император? — спросила я.

— Никуда. Он повесился в Угольной башне Запретного города в Пекине, когда манчжуры рвались к стенам города... Так вот, Джан Цзо-Линь... он был неграмотным. Подпись его была — отпечаток большого пальца... Со своей шайкой поначалу совершал налеты на банки, на богачей... Все раздавал крестьянам... Такой китайский Робин Гуд... Курил опиум — набивал трубку, раскуривал свечой... В русско-японской войне воевал и на той, и на другой стороне, но после войны поставил на японцев. Был властителем Манчжурии, а хотел стать новым императором Китая... У самого была кличка Дун-Бей, а бандиты его звались "хунхузами" — "краснобородыми".

— Довольно странные военные отличия.

— Хной красили... — пояснил Яков Моисеевич. — Влетает, бывало, на коне в зал суда, где идет заседание. Говорит судье: ты отъявленный мерзавец, все судишь в пользу богачей! Приговариваю тебя к смертной казни! Достает маузер с прикладом и...

— Как это — маузер с прикладом? — спросила я.

— Ну, деревянная кобура служила прикладом... Да... В Китае в то время пооткрывалось множество банков. Любой мерзавец мог открыть банк, ограбить людей и скрыться... Много было таких случаев. И вот Джан Цзо-Линь приглашает однажды на банкет десять самых крупных банкиров... Когда он вот так приглашал к себе, люди оставляли дома завещание... Ну, и он им говорит: "Я разрешил вам открыть банки, думал, что будете поступать по справедливости... Вы же кровососы и подлецы..."

— ...Всех шлепнул?

— ...Не всех, одного оставил, чтобы тот потом людям рассказывал... Их выводили по одному во двор, рубили головы. А Джан Цзо-Линь приговаривал сидящим за столом: "Кушайте, кушайте, угощайтесь, приятного аппетита!"...

— Я смотрю, он вам нравится, — заметила я.

— Нет, не нравится. Но он был одним из тех, кто не дает забыть о себе после своей смерти. Незаметно ожили фонари, на каждом столбе — по четыре простых круглых шара, как четыре

желтые виноградины сорта "крымский". Этот желтый уютный свет, приручая старые сосны, одомашнивал крошечное пространство старого парка. До блеска натертые подошвами плиты каменного пола террасы празднично отливали желтым.

— Ну, хорошо! — сказала я решительно. — Хотите, мы обучим Алика набирать текст на компьютере? Хотя, повторяю, для нас это будет тяжелой обузой...

— Не знаю... — повторил он. — Не уверен, что это целесообразно.

— Целесообразно?! — крикнула я. — Це-лесо-об-разно!! Нет, мне это нравится! А "Бюллетень" ваш целесообразен? Лу преданно ухаживал за ней! Яков Моисеевич, вы — умный интеллигентный человек, вас обучали русские офицеры!..

— Дитя мое, — сказал он, — не тратьте пороху.

И мы опять замолчали...

— Давайте-ка я лучше дорасскажу вам, как убили Джан Цзо-Линя! — проговорил Яков Моисеевич с неожиданным воодушевлением, но и некоторой просьбой в голосе. — Вам интересно?

— Валяйте, — вздохнув, сказала я.

— Он, видите ли, в Пекине связался с американцами, и япошки этого ему не простили. У него главный враг был генерал У Пей-Фу, тот сколотил большую армию. Почему-то называли его христианским генералом, и действительно, он крестил своих солдат весьма оригинальным способом: поливал из шланга... Да, так вот, японцы уговорили Джан Цзо-Линя возвратиться в Манчжурию. Но американцы предупредили его об опасности взрыва поезда, и тот— он был человек бесстрашный — пошел и напрямик спросил: что, мол, убить меня хотите? Тогда майор разведки, японец, сказал: "Я буду с тобой в одном купе до конца, до самого Мукдена". И вот когда поезд уже подходил к Мукдену, уже сбавил пары, а я в этот момент покупал с лотка лепешки шао-бин... японец и говорит Джан Цзо-Линю: Видишь, ничего не случилось, ты целехонек... а я пойду в свое купе, там у меня остались фуражка и шашка..." Выскочил из поезда, и... взрыв потряс город. И я все это видел... лепешки выронил... помню, лежат лепешки в пыли, а я плачу, собираю их и боюсь, что родители заругают...

— Какой это год? — спросила я.

— Двадцать седьмой... А вскоре мы вернулись в Харбин, меня записали в Первое коммерческое училище... Там давали прекрасное образование...

— Русские офицеры?

— Напрасно иронизируете, это все были высокообразованные люди... Русские мальчики учили закон Божий. Евреи изучали Ветхий Завет, иврит... Вообще, очень активная была еврейская жизнь... Знаете, много было кантонистов, они с волной беженцев прибыли из Сибири. Люди бывалые, грубые, с зычными голосами. Помню, на Симхас-Тойре — это когда Тойру должны обносить вокруг "бимо" — поручили нести свиток одному старому кантонисту— большая честь, между прочим. И кто-то спрашивает его, не тяжело, мол, будет? Так он обиделся, кричит: "Я на своей спине пушки таскал! Что я — это говно не подниму?" Грубый народ, грубый народ... Ругаться все умели незаурядно, восхитительно!.. Помнится, уже здесь, во время Синайской кампании,

сидим как-то мы с Морисом в палатке и — не помню, о чем ведем беседу... Вдруг, на полуслове, заглядывает незнакомое лицо, спрашивает: ребята, вы, случайно не из Китая? Да, кричим, из Китая, откуда ты узнал? Как, говорит, откуда — такую ругань только на углу Китайской и Биржевой можно слышать! — Яков Моисеевич улыбнулся сконфуженно. — И, знаете, да: на углу Китайской и Биржевой была стоянка извозчиков.

— Я смотрю — вы наш человек, Яков Моисеевич. А я-то боялась, что Витя смутил ЦЕНТР своей несдержанностью...

— Ваш Витя — сморчок и тля противу нашей крепости! — сказал он высокомерно.

Я поднялась из-за стола и поцеловала его в румяный мешочек щеки. Впрочем, в желтом свете фонаря лицо старика тоже приобрело желтоватый оттенок. Хотя бы этим он напоминал сейчас китайца.

— Мне пора, Яков Моисеевич. Спасибо за штрудл, за булочки... Я нисколько не жалею о том, что встретилась с вами, хотя, по логике событий, мы ведь сейчас расстаемся навеки с вашими китайскими гульденами?

— Не говорите так! — взволнованно воскликнул старик. — Мы все взвесим, Морис изучит проект и смету.

— К чертям вашего Мориса.

— Я уверен, что мы найдем выход из создавшейся ситуации! Мы ведь искренне хотим поставить дело на новые рельсы!

— И пустить по этим рельсам конно-железку.

Он понурил голову.

— Придумайте что-нибудь! — умоляюще проговорил он. — Алик должен клеить "Бюллетень". Он болен, он инвалид детства. Он добрый, хороший мальчик... Придумайте что-нибудь! Человек в таком победительном красном плаще должен знать выход из всех тупиков...

Прошла еще неделя, китайцы отмалчивались. Я советовала Вите забыть этот незначительный эпизод нашего цветущего бизнеса. Он же уверял, что все впереди, что китайцы раскрутятся, что на базе "Бюллетеня" мы еще создадим международный журнал, и даже распределил рубрики.

Я рассказываю все это только для того, чтобы вы поняли, с кем я имею дело.

Основным нашим заказом оставалась газетка муниципалитета.

...Сейчас уже можно написать: светлой памяти газетка.

Витя, тут ничего не скажешь, — страшный идиот. Как упомянуто мною выше — он очень образованный человек, просто — ходячий справочник. Но двигательный аппарат с мыслительным у Вити связаны опосредованно. Отсюда — вечная путаница во всем, за что бы он ни взялся. Кажется, это называется "дислексия", вещь вполне объяснимая с точки зрения медицины, но мне-то от этого не легче. А поскольку живем мы в разных городах и общаемся, в основном, по телефону и через компьютер, мне следить за каждым Витиным шагом накладно.

Передавая газетный материал и посылая к нему фотографии, мне приходилось писать прямо в тексте — в скобках, конечно, — пояснительные приписочки с шеренгой восклицательных знаков. В выражениях я не стеснялась, тем более что только так можно было привлечь внимание рассеянного Вити. Предполагалось, что приписочки Витя в своем компьютере сотрет, чтобы, не дай Бог, они не попали на газетную полосу. Он и стирал. Всегда. Ведь он не был клиническим идиотом. Хотя, конечно, мне следовало понимать, что сколько веревочке ни виться...

Ей-богу, дешевле было бы каждую неделю мотаться в Яффо и самолично надзирать за работами.

Вы догадываетесь, куда дело клонится?

Раз в месяц Витя на своей колымаге привозил готовый тираж газеты в город и сразу развозил по точкам: мы забрасывали экземпляры в Дом культуры, в поликлиники, в магазины — чего там скромничать! — среди русской публики газетенка имела оглушительный успех... А "Уголовная хроника" — та вообще шла на ура...

Помню, как в последний раз явилась я к Саси Сасону за очередной порцией безобразий.

— А! — сказал он, обрадовавшись при виде меня. — Ты вовремя. Есть горячий материал для вашей газеты.

Я сразу поняла, что отличился опять кто-нибудь из "наших" и опять — с неожиданной стороны. Это Саси и называл горячим материалом: когда ему удавалось порадоваться за "русских".

Я включила диктофон.

— Такой вот один ваш идьёт... из города Ди-не-пер-тер...

— Днепропетровска,— подсказала я, — дальше!

— ...Идиот и прохвост, не способный к какой бы то ни было работе, — рассказывал Саси... — Единственное и первое, в чем преуспел, — развозил на машине блядей по клиентам. Сидел внизу, в машине, ждал окончания сеанса. Решал кроссворды. Однажды заехал к приятелю на день рождения, говорит: "Слушай, я на работе, мне некогда. Хотел вот подарок купить, да с деньгами туго. Там у меня внизу в машине блядь сидит... спустись, трахни ее, считай, что от меня — подарок. Вроде как я пятьдесят шекелей тебе подарил". Приятель обиделся, говорит: "Да кто сейчас на день рождения пятьдесят шекелей дарит?" Тот подумал, прикинул: "Ну, два раза трахни". Так вот, этот приятель и стукнул нам, видно, сильно разозлился, — продолжал Саси... — Потому что, если у человека день рождения, так дари ему подарок как человеку, я так считаю, а? А мы положили глаз на этого типа из Дер-пи-дет...

— Днепропетровска...

— И что же выяснилось? За двадцать тысяч шекелей он купил проститутку, какую-то мулатку из Гвинеи. Поселил ее в отдельной квартире, платил тыщу долларов в месяц и водил к ней клиентов. Тут мы его взяли... И, представь, он охотно дает показания, уверяет, что одумался, и, когда освободится, будет вести только законную жизнь. Наверное, станет торговать надувными резиновыми женщинами. За них хоть не сажают... Интересно, чем он занимался в своем Пер-де-пен...

— Саси, — сказала я. — К черту подробности!

Поздно вечером я отослала Вите по модему все файлы с моими деловыми комментариями, которые в процессе верстки он должен был стереть за ненадобностью.

Смешно вспоминать, что именно этот номер казался мне наиболее удачным.

Ну, так вот. Через день, к вечеру, привез он, значит, тираж в город, раскидал по точкам... а на следующее утро — как принято писать в таких случаях— мы проснулись знаменитыми.

Короче: объяснительные мои приписочки в целости и сохранности сопровождали фотографии видных деятелей города. На первой полосе, где обычно подавались городские новости, под заголовком: "Городу — расти и расцветать!" помещалась групповая фотография членов муниципалитета, под которой шел лично мною набранный жирным италиком текст: "Внимание! Не перепутай эту компанию мошенников с другой, на фотографии поменьше. Тут— сотрудники муниципалитета, там — работники отдела обеспечения. Справа налево: крашеная блядь с омерзительным оскалом — Офра Бен-Цви, заместитель мэра. За ней мужик с рожей уголовника-рецидивиста — глава отдела благосостояния Шай Дебек. Микроцефал в вязаной кипе — начальник отдела безопасности Нисим Хариш, а в центре — пузач с конфузным выражением на физии, словно он в штаны наложил, — министр транспорта Эли Базак.

Ниже шел вполне культурный, отредактированный мною текст о визите в наш прекрасный город нового министра транспорта Эли Базака.

И так далее. Мои интимные домашние комментарии сопровождали каждую фотографию. А фотографий у нас всегда было в изобилии.

Все это венчала "Уголовная хроника" с ярким репортажем о торговце проститутками.

Тут над скандалом я опускаю плотный занавес, если вам угодно — бархатный, с кистями, ибо действительно ничего не помню, не знаю: неделю я не выходила из дому и всерьез подумывала о том, чтобы сменить место жительства. Если не в глобальном смысле (почему бы не слинять в Новую Зеландию к единоутробной сестре?), то хотя бы в локальном. Мои домашние не звали меня к телефону и строго отвечали, что я серьезно больна. В сущности, это было правдой: стоило мне представить выражение лица первого раскрывшего газету жителя города, как на меня нападал захлебывающийся визгливый смех.

Через неделю позвонил Витя, который не утратил ни грана своего великолепного апломба. Я уже могла говорить с ним почти спокойно. Компания "Джерузалем паблишинг корпорейшн", сказал он в странном оживлении, почила в бозе, дала дуба, приказала долго жить, и черт с ней. Муниципалитет отказался от наших услуг, и приходится признать, что до известной степени он-таки прав. В то же время налоговое управление потребовало представить подробный отчет о деятельности "Джерузалем паблишинг корпорейшн", так что легче уже объявить банкротство и слинять в другую область деятельности... Жаль только, что с китайцами получилось неудобно — они надеялись на нас, и кто же еще сможет им делать культурное издание, которое открыло бы миру ценнейшее наследие этих мудаковатых еврейских хунвейбинов...

Я вяло подумала: Алик спасен.

Напоследок Витя похвастался, что получил место охранника на каком-то предприятии высоких технологий. Чудное место — все блага цивилизации, чай, кофе, какао... Платят по шестнадцать

шкалей в час. По ночам можно спать. У него есть спальный мешок. Отключит в двенадцать ночи какое-то чертово реле, завернется в мешок и будет спокойно спать.

— Вот именно, — сказала я, — и дашь наконец отцу спать спокойно там, где он спит.

Витя вдруг замолчал и спросил меланхолично:

— Кстати, ты знаешь, где отец?

— Ну... как же... Что ты имеешь в виду, дурак? В Киеве, на еврейском кладбище? — предположила я.

— Отец в мамином шкафу на балконе, на верхней полке.

На обоих концах провода воцарилась трескучая пустота.

— Вв...нн...ты... Нет!! — сказала я наконец. — В... в каком виде?

Он усмехнулся:

— В виде пепла, конечно. А ты думала — мумия? Мать настояла, чтобы мы его вывезли. Она же чокнутая.

— Но... Господи, Витя, почему вы его не захороните?!

— Не разрешают. Ты что, не знаешь это государство?! Мы потеряли документы, что он еврей, и сейчас, чтобы доказать, нужны свидетели, а где их взять?

— Но... нет, послушай... — я ужасно разволновалась. Мысль, что пять лет еженедельно я редактировала газету, сидя рядом со шкафом, на верхней полке которого стоит урна с прахом верного ленинца, совершенно лишила меня покоя. — Да, похорони ты его на христианском кладбище, наконец!! — воскликнула я.

— Ну, знаешь! — сказал он гордо. — Если я жру свинину, это еще не значит, что меня можно оскорблять!

И тут же, сменив гнев на милость, принялся рассказывать, как в голодные времена на Украине одной семье родственники из Америки прислали урну с прахом умершей общей бабушки, которая завещала похоронить себя на родине. По-видимому, забыли вложить объяснительное письмо в посылку. А те решили, что это американская помощь. Ну и... нажарили оладушек... Короче, съели бабушку. Потом дядя все приговаривал: не-ет, наша-то мучица, пшеничная, она и посветлее, и повкуснее будет!..

— Старая хохма, — сказала я. — Слышала этот ужастик из самых разных источников.

— Тебе не угодишь! — сказал он.

На сей раз я решила сама позвонить старику.

— Яков Моисеевич, — сказала я, — хочу вас обрадовать: я нашла выход из тупика, все устроилось.

— Так и должно было случиться! — крикнул он. — Человеку в таком победительном красном плаще повсюду сопутствует удача!

— Вот именно... Я распустила "Джерузалем паблишинг корпорейшн" к чертовой матери... Акции проданы, биржа бурлит, кредиторы стреляются... Так что Алику ничего не угрожает... Пусть мальчик клеит газету...

Мы немного помолчали оба, и в эти несколько мгновений я пыталась понять — что общего у меня и Вити с этими странными стариками.

Я думала о призрачности нашего существования. О трагической легкости, с которой ветер волочит наш воздушный шар по здешним небесам, о крошечном замкнутом пространстве этой земли, уже исхоженном вдоль и поперек... О подспудном яростном желании выкарабкаться из клетки собственных ребер...

О, дорогой, единственный, никчемный наш русский язык, которым мы все повязаны здесь до смерти!

Жаль, подумала я, что мы так и не выпускали "Бюллетень" этих псевдокитайских призраков. Подобный альянс, пожалуй, был бы вполне логичен.

— Но мы ведь встретимся по этому поводу? — робко спросил Яков Моисеевич. — Как насчет штрудла Анны?

— Почему бы и нет, — сказала я.

— И все-таки ваше пристрастие к красному цвету меня тревожит.

Мы только что спустились со второго этажа, где на очередном пятничном концерте Миша Кернер исполнял ре-минорную сонату Брамса. Небольшая зала наверху была, как всегда, переполнена публикой. Позади всех, у дверей стояла хозяйка-распорядительница этого дома — жизнерадостная пожилая дама с невообразимым количеством разнообразных бус на свободной цветной блузе. Они погремушечно щелкали, позвякивали, потренькивали. Каждый раз эта милая дама появлялась в новой блузе с новыми, еще более разнообразными бирюльками на булыжной груди.

Когда Миша рассыпал рокочущие пассажи позднеромантического Брамса, распорядительница счастливо оглядывала публику и сообщала гордым шепотом: "Это наш охранник!"

А я опять мучительно думала — куда Миша дел свою форменную куртку и оружие, и это, как всегда, мешало мне слушать...

Наконец, бурлящий пассажами "Блютнер" стих, Миша сбросил с клавиатуры ненужные руки, откинулся, встал — и публика яростно захлопала: сюда, на концерты в дом Тихо, приходили обычно настоящие ценители.

— Это наш охранник! — победно воскликнула погремучая дура.

Миша откланялся и ушел в боковую комнату — вероятно, переодеваться и идти домой. В день концерта обычно он брал отпуск за свой счет.

А мы с Яковом Моисеевичем сразу спустились вниз, на террасу — занять столик. После концерта многие из публики оставались здесь пообедать...

— Меня тревожит ваша любовь к красному... — повторил он.

— Напрасно, — возразила я, — нынче этот цвет означает совсем не то, что означал во времена вашей молодости. Кстати, что там за юная особа щеголяла в красном плаще? Расскажите о какой-нибудь интрижке, а то мне может показаться, что во времена китайских императоров молодые евреи только и делали, что учились по программам русских гимназий, ругались, как извозчики...

— ...И катались на коньках, — вставил он вдруг.

— На конь-ках? В Китае? Это любопытно.

— Вы невежественны, дитя. Вы не учили географии в школе. Или учили какую-то другую географию. В Китае зимой температура опускается до минус двадцати... Катки отличные. Все мы были прекрасными конькобежцами. Вообще спорт в нашей жизни был на первом месте... Все романы завязывались и рушились на катках... Музыка играла — вальсы, фокстроты... Вальсы в основном... Штраус "Сказки Венского леса"... "У голубого Дуная"... Знаете — это поразительно живо: я даже слышу сейчас, как с сухим хрустом режут лед коньки... Да — короткая шубка, муфта, коньки "шарлотта", коричневые ботиночки — тугая шнуровка...

Он замолчал, зачарованно всматриваясь в далекий ледовый блеск слепящей юности.

— Видели бы вы, какие кренделя выписывал Морис и как восторженно на него смотрели девочки! У него были настоящие "норвежки". У меня — тоже. Знаете, такие коньки для соревнований, высокие ботинки... И я вам скажу, что он довольно успешно противостоял знаменитому в то время Рудченко.

Я вспомнила, как на Мориса смотрели две пожилые овечки в китайской резиденции.

— А что, Морис и вправду был когда-то молодым?

— Морис был отчаянной, наглой смелости парнем! — воскликнул обиженно Яков Моисеевич. — Хлесткий, резкий, очень остроумный... Если б я рассказал вам хоть пятую часть всех безрассудств его молодости, вы были бы шокированы.

— Ну надо же! А я думала, он был коммивояжером.

— Коммивояжером был я... Вернее, менеджером в "Чунь-синь комершиал компани"... Но это — гораздо позже... Мы торговали пушниной, кишками для колбас, английскими велосипедами "Геркулес". Как видите, вполне заурядная деятельность. Впрочем, моим героем в то время был Лесли Хауорд.

— А кто это? — спросила я.

— Боже мой, вы ничего не знаете! Он играл Эшли в "Унесенных ветром". Был чертовски элегантен...

— И все-таки, Яков Моисеевич, — я отодвинула стакан, — откуда посреди полного китайского процветания вдруг отъезд в эту сумасшедшую призрачную страну, да еще в то время, когда ее мотало из стороны в сторону?..

Он улыбнулся:

— Ну, это... надо всю жизнь по кирпичику восстанавливать, чтобы внятно-то ответить... А ваш отъезд — почему? То-то... Мама, помню, все просила: "Яшенька, погоди, не езжай ты в свою Палестину, пока эта история с арабами не закончится..." А я ей: "Мама, она никогда не закончится..." Знаете, в то время мы были покорены романтикой Жаботинского, Трумпельдора, Бялика... "Бейтар", "Два берега у Иордана" и все такое... Нет, мы были молоды, понимаете? Мы были молоды и крепки сердцем... Вот вы как-то насмешливо — о Морисе... Господи, если б я взялся рассказывать его жизнь! Где только этот парень не побывал! Например, во время войны оказался в Италии, так сложились обстоятельства. Ушел в горы, разыскал партизан, воевал с ними... Был командиром отряда... Однажды, уже в самом конце войны они ввосьмером обезоружили сто восемьдесят немецких солдат.

— Ну это... положим!

— Да-да! Сначала выловили двоих, заставили их написать листовку на верхнебаварском диалекте... Точно не помню, вроде, там обращение к товарищам звучало каким-то сленгом. "Шпец", что ли... Как наше "хэвре"! Остальные прочли, поверили... сложили оружие и ушли через границу со Швейцарией, как им было велено... Может быть, я что-то путаю в деталях, но по сути все верно... Морис напоследок сказал немцу, их командиру: "Мне не нужна твоя смерть. Для тебя и для меня война закончена. Но знай, что я — еврей".

— Послушайте, да ваша сушеная вобла Морис — просто замечательная личность! — воскликнула я.

— Да, — подтвердил Яков Моисеевич с достоинством.

— Тогда за что вы его ненавидите?

Он подпрыгнул на стуле, вспыхнул, побагровел.

— Какого черта! Что вы себе позволяете! С чего вы взяли?!

Я смиренно смотрела на этого чудного старика.

— Моя профессия — наблюдать, — сказала я грустно.

Он сердито покрутил ложечкой в полупустом стакане.

— Да, — сказал он. — Человеку бывает трудно управлять своими чувствами. Но человек должен сделать все, чтобы эти чувства не бушевали на поверхности.

— Вот именно, — сказала я. — Итак, за что же?

— Он отнял у меня любимую женщину. Это было так давно, что уже не о чем говорить...

— ...Юную особу в красном плаще?

— ...В красном плаще... Через год она опомнилась и пришла ко мне, а он уехал в Италию... но после войны вернулся, и этот кошмар возобновился с какой-то безумной силой... И два года она металась между ним и мною и таяла от чахотки... История, знаете ли, банальная...

— Все истории банальны, — возразила я, — пока они не случаются лично с тобой.

— Я... я не знал — куда деться после ее смерти. Как будто окончен спектакль, и надо выйти из театра — а куда идти?.. Это был сорок седьмой год, и я придумал себе ехать в Швейцарию, в Монтрё — где собирался конгресс еврейских общин... Выехал в Шанхай, за визой, и там меня вьюга застала — страшная вьюга, бушевала три дня... Лететь мы должны были на американском самолете, в то время летали такие, переделанные из военных транспортников... Ну, вьюга — куда деваться? Поехал в клуб "Бейтара", встретил там приятеля, заказали мы ужин... Вдруг — как наваждение: в дверях цыганка. Швейцар — гнать ее, а я как брошусь — впусти, впусти ради Бога! Сунул мятую купюру, он впустил... А у меня такая тоска страшная! Только похоронил, знаете... все представляю, как ей холодно там, в такую-то вьюгу, одной лежать!.. Говорю этой цыганке — погадай мне, только смотри, не обмани! А она мне — эх, душа моя, вижу, сердце у тебя изранено... Знаете, эти их цыганские штучки... но, Бог мой, в самую-самую точку! Ну, прошли мы с ней в комнату. Она подает горсть амулетов, велит — брось на стол. Я бросил... Она долго рассматривала... Потом раскинула карты Таро. И наконец говорит мне: ты сейчас ехать хочешь, но никуда не поедешь. В казенном доме тебе нужной бумаги не дадут. А через полгода уедешь в страну, где будешь очень счастлив... Да... маленькая собачка была у этой цыганки, смешная такая, грызла трубку... И что вы думаете? Через три дня прихожу в швейцарское консульство, выходит консул с телеграммой в руках и говорит — конгресс откладывается на неопределенный срок... Вот так... И сюда я попал — точно по цыганскому слову — через полгода.

— И были счастливы? — спросила я.

Он помолчал.

— Понимаете, — сказал он, — последняя карта выпала тогда — ярко-красный закат солнца... Черт возьми! — спохватился он, — зачем я все это вам рассказываю, к чему это вам-то — вся эта чужая прошлая жизнь!..

— Наверное, из-за красного плаща, — предположила я.

Пряные запахи струились из кухни — кофе с кардамоном, ванильной пудры, горячих булочек, — мешались с запахами влажной хвои и преющей земли. Янтарная светотень лепила мощные стволы старых сосен. На широких, облупленных перилах террасы мягко играли две рыжие, абсолютно одинаковые, видно, родственные кошки. Иногда они замирали обе, подняв друг на друга лапу, словно замахиваясь ударить, — симметричные, как на древнеегипетской фреске. Я украдкой ими любовалась.

— Она была так талантлива! — проговорил вдруг старик со сдержанной упрямой силой. — Целый год до войны училась живописи в Париже, ее акварели хвалил Роберт Фальк, она писала стихи... Перед смертью сочинила стихотворение, там были такие строчки: "...и окунуться молодым из дыма жизни уносящейся— в сгущающийся смерти дым". ... Вам нравится?

Мне вспомнились муторные времена моего руководства литературным объединением. Это тоже было очень давно, хотя и не так давно, как у Якова Моисеевича.

— Не очень... — сказала я, стесняясь и жалея старика, — "ся-ща", "ши-щи"... Не очень профессионально.

— А мне нравится, — сказал он доверчиво, сморкаясь в салфетку. — "Из дыма жизни уносящейся — в сгущающийся смерти дым..." Однажды я приглашу вас и покажу одну ее

акварель. Она висит у окна, чтобы — всегда перед глазами... Немного выцвела, и это даже лучше — краски с годами стали нежнее...

Эх, Яков Моисеевич, подумала я... Не акварели у вас перед глазами, не акварели, а коньки "шарлотта", коричневые ботиночки, тугая шнуровка...

— Яков Моисеевич, простите за бестактность, но если уж зашел разговор... Не могу никак понять — зачем вам сегодня-то, после всей этой жизни,— видеть его, сидеть за одним столом, обсуждать какие-то дела?

Он взглянул на меня недоуменно:

— Но... Господи, вы ничего не поняли! У нас же Алик! И он нуждается в присмотре, в заботе... В принципе он вполне самостоятелен, хотя и живет с Морисом, — тот очень к нему привязан. У Алика вообще-то характер мягкий, покладистый характер... но... иногда у него бывают приступы страшной тоски, беспокойства. И тогда он уходит из дому... В последний раз полиция нашла его в Хайфе... Мы сбились с ног, чуть с ума не сошли от ужаса... Понимаете, — он поднял на меня ясный старческий взгляд, — она родила его незадолго до смерти, когда ушла к Морису — навсегда... Очень роды были тяжелые, ребенок чуть не погиб...

Я молча смотрела на старика.

— Алик — ваш сын? — тихо выговорила я.

Он молчал, разглаживая салфетку большими пальцами, сточенными жизнью.

— Не знаю... — сказал он наконец. — Не знаю...

Я вдруг подумала о первом хозяине этого дома, о выкресте Шапиро. Где он застрелился — наверху, в одной из спален? В зале, где стоит старый рояль? — нет, это было бы слишком театрально... А может быть, пока семья еще спала, он вышел в утренний сад, где смиренно стоят плакучие сосны, в сад, влажный от росы, достал из кармана халата револьвер... И одинокий утренний выстрел не спугнул батистового облачка, упущенного по течению ленивой небесной прачкой...

— Позвольте, я оплачу счет, Яков Моисеевич, — сказала я, как обычно. — Меня хоть и выгнали в очередной раз с работы, но уплатили некоторую сумму, так что я гуляю...

— Знаете что, платите! — сказал вдруг непреклонный Яков Моисеевич.— Платите. У вас еще все впереди.

Он поцеловал мне руку и пошел.

И шел к ступеням, аккуратно огибая столики. В кепке, похожий на еврейского мастерового.

Из дыма жизни уносящейся — в сгущающийся смерти дым.

Один интеллигент уселся на дороге

Марине Москвиной

Говорили, что на центральной аллее появилось новое лицо — человек с велосипедом...

Подозревали, что приезжает он из деревни, то ли из Глухова, то ли из той, что за оврагом, — но выражением лица обладает явно не деревенским, а городским, да и выше бери — гуманитарным...

И вот, обладая этаким-то выражением лица, он приезжает на велосипеде, сомнамбулически крутя педалями, — в светлом длинном плаще, излишнем для теплой такой погоды, застегнутом, впрочем, только на три верхние пуговицы, — и, прислонив велосипед к сосне, подстерегает на аллее одиноких дам, удовлетворенно бредущих из столовой в корпуса...

Первой наткнулась на него Эмилия Кондратьевна. Могучие малеевские сосны, светясь перламутровыми стволами, звали к вдохновенному творческому труду, но Эмилия Кондратьевна, хоть и заправила с утра в машинку чистый лист и даже страницу пронумеровала — 63-ю, тащилась после обеда в номер, поспать.

Она брела по дорожке к нашему корпусу "Б", мурлыкая свое любимое: "Послеполуденный отдых фавна"...

Кстати о фавне: этот мерзавец стоял за деревом в светлом плаще, предусмотрительно застегнутом лишь на верхние пуговицы. И такое у него утонченное лицо, рассказывала нам, бурно дыша, возмущенная Эмилия Кондратьевна, — и очки, очки! — что в голову не приходит опустить взор!

...Кроме Эмилии Кондратьевны, детского критика, сидели еще за нашим столом Миша и Руся, такая, ну, пара, что ли, они работали вместе: писали прозу, одну на двоих, как братья Вайнеры или братья Стругацкие, только Миша и Руся не братья считались, а просто — соавторы. Миша грубоват был и бряцал на обшарпанной гитаре довольно симпатичные скабрезные песенки времен сельскохозяйственного студенчества семидесятых годов. Томный хрупкий Руся при нем находился и очень нервничал, когда, бывало, Миша на литфондовском автобусе уедет в Дорохово за пряниками и опоздает к обеду.

Маринка считала, что они, конечно, спят, но она не злословила, потому что неизменно добавляла при этом:

— Ну, и на здоровье, литературе ведь это не мешает...

Я как раз не думаю, чтоб они спали, — к ним, как ни постучишь, Руся на машинке щелкает, а Миша мечется по комнате и диктует. То есть, может, они и правда только соавторами были, но зачем для этого один номер на двоих снимать?

Миша и Руся работали по-крупному, в смысле стиля. Называлось это "библеизм", то есть имелся в виду стиль, в каком Библия написана. Например, один из Миши-Русиных рассказов начинался так: "И пришли они к женщине этой. И было это в седьмой день, воскресенье. При них выпить было, и много желали они веселиться. Но дверь эта женщина не отворяла. И возопил тогда Вася: "Откроешь ли ты, блядь, в светлое воскресенье Господне?!""

Справа у окна сидел мрачный Кириллов, драматург. Маринка говорила, что никто его не ставит, но в определенных кругах очень ценят, он гонит "чернуху", жутко талантливую, куда Петрушевской! Кириллова вот-вот должны были начать ставить, ведь в литературе все давно переломилось, поэтому Кириллов сидел месяцами в Доме творчества писателей, "Малеевке", и гнал "чернуху".

Каждый день он отстаивал очередь к автомату в вестибюле главного корпуса и громко кричал в трубку: "Теть Фира! Теть Фир! Если приедет Глубоков из МХАТа, дайте уже ему пьесу "Бардак" в красной папке! Да на ней прямо сверху написано черным фломастером: "Бар-дак"! Теть Фир! Не ту красную папку, что на этажерке, не спутайте. В той две одноактовки: "Расчлененный труп" и "Главный гинеколог". Не спутайте. Та красная, которая таки именно та, лежит в верхнем ящике письменного стола..."

Маринка говорила, что у Кириллова трагическая судьба. Не в том смысле трагическая, что младенцем он остался сиротой, это еще полбеды, а в том смысле, что воспитала его соседка тетя Фира, передав в процессе воспитания невинному русскому мальчику ужасающий жмеринский акцент. Из-за этого акцента в литературных кругах к Кириллову относились с недоверием. И он мог сотни раз рассказывать, что тетя Фира его только воспитала, но все равно у Кириллова была трагическая судьба: его встречали по открытому славянскому лицу, а провожали по акценту...

...После ужина мы собирались обычно на террасе перед столовой, темнело, зажигались тоскливые фонари, и сосны страшно стояли черной стеной вдоль центральной аллеи...

— Я растерялась, знаете, крикнула: "Дурак! Безобразие!" И помчалась как сумасшедшая, даже сон пропал, пришлось сесть за машинку, и — не поверите! — отстукала до ужина пятнадцать страниц. Очень плодотворно поработала...

Миша треснул пятерней по струнам гитары и запел:

Руц-туц-перевертуц: бабушка здорова,

Руц-туц-перевертуц: кушает компот,

Руц-туц-перевертуц: и мечтает снова,

Руц-туц-перевертуц: пережить налет!

— Наверное, он страшно одинок, — задумчиво проговорил Руся, качаясь в плетенке.

Миша заржал коротко и сказал:

— Я думаю!

Кириллов молчал. У него всегда было такое лицо, точно все плохое, о чем ему приходилось слышать, он давно предсказал в какой-нибудь своей пьесе.

— Интеллигентный эксгибиционист... — саркастически проговорил он. — Это таки интересно. Это — тема... — Хмыкнул, почесал щеку и протянул со своим ужасным акцентом: — Эт-то таки тема.

Миша опять ударил по струнам гитары и запел оперным речитативом:

А-дин интеллигент уселся на дороге

И стал на солнце греть свои худые ноги.

И! Кое-что еще. И! Кое-что другое,

О чем не гово-рят, чего не учат в школе...

— Фу-у, мальчики! — укоризненно протянула Эмилия Кондратьевна.

...А я вообще ни при чем была среди них. Я по профессии корректор. Знаете, напряженная, очень вредная работа. Вкус к жизни отбивает. Абсолютно неинтересно, например, с людьми иметь дело. Разные ситуации там, слова, чувства... Все время кажется, что это я уже корректировала у какого-то писателя. Профессиональное... Ничего не поделаешь.

В "Малеевку" мне Маринка достала путевку. Собственно, это и не путевка была, а так, курсовка, оплаченное питание. Просто в номере оказался лишний диван. Маринка приехала по путевке, обнаружила напрасно пустующий диван, увидела мощные сосны за окном и тем же вечером вызвонила меня из Москвы.

— Здесь сосны, здесь бильярд! — весело орала она в трубку. — Приезжай, тебе полезно после травмы!

И я поддалась... Знаете, после моей душевной травмы... но о ней я задним числом расскажу... В общем, утренней Бородинской электричкой с Белорусского до Дорохова, а там малеевский автобус ждет. И — ах, этот воздух, эти леса... Впрочем, это было уже у какого-то писателя.

Дело еще в том, что я помогала Маринке укрывать от администрации пса, Лакки. Он боялся одиночества в номере, выл и когтил лапами паркет. Мы ходили в столовую по очереди, чтобы Лакки не чувствовал себя таким одиноким. А часов в шесть утра этот пес выволакивал меня на оправку и, одуревая от свежего воздуха, тащил волоком по просекам, задирая то одну, то другую заднюю лапу, похожую на мохнатое весло.

В ту неделю Маринка заканчивала рассказ для детей, которому одним известным писателем было еще по черновику предсказано большое будущее. Сюжет был прост, для детей всегда простота нужна: Собака. Всю жизнь прожила в трехкомнатной квартире, три раза в день ожидая, что на нее наденут ошейник с поводком и выведут по нужде. Вдруг хозяева купили дачу, в Уваровке. Собаку вывезли. Совершенно обалдевшая от воли, простора и счастья, она гоняла по огромному участку, но когда захотела справить нужду, принесла хозяину в зубах ошейник с поводком. Иначе она не могла. Конечно, прообразом героя был Лакки, английский сеттер — чудная интеллигентная морда. Глубинные ассоциации рассказа: вот так и все мы. Без поводка не можем. Маринка всегда писала ослепительно просто, но с мощными глубинными ассоциациями...

Итак, мы с Маринкой и с Лакки, английским сеттером, престарелая критик детской литературы Эмилия Кондратьевна, девушка и тонкая душа, соавторы Миша и Руся и мрачный Кириллов с акцентом — действующие лица этой... ну, скажем, интермедии... Апрель, тепло, огромный сиреневый куст у поворота аллеи...

Второй на этого странного человека напала Маринка. Она опоздала к ужину — веселая, румяная, в жестком большом свитере своего мужа Ленечки. Как и все хорошие детские писатели, Маринка человек просветленный до циничности.

— Познакомилась с вашим!.. Эмилия Кондратьевна, — весело крикнула она, повергая в оторопь сидельцев за окрестными столами. — Он думал, что я засмущаюсь, как вы, и обращусь в бегство, да не на ту напал!

Она с аппетитом взялась за свою котлету и продолжала с полным ртом:

— Я ему тут же принялась рассказывать, как осатаневшие студенты нашего художественного училища на "картошке" вырезали из поленьев чудовищных размеров фаллосы и развлекались, гоняясь друг за другом и строя мизансцены в духе "Декамерона"... Когда студенты уехали, рассказывала я ему уже в убегающую спину, на полях остались разбросанные всюду, черные от дождей фаллосы, похожие на посеянные зубья дракона из греческого мифа о Персее...

— Зачем же ты помешала его скромным удовольствиям? — строго спросил Миша.

— Фу-у, девочки... — поморщилась Эмилия Кондратьевна. — За столом-то... Он убежал?

— Да, он пуглив, как лесная серна!.. — ответила Маринка, доедая ужин.

Миша заржал и надкусил огурец, а Кириллов пробормотал с акцентом:

— Ну, имеем неплохое развитие темы...

Маринка подмигнула мне и сказала:

— Это, пожалуй, покруче, чем "Школа женского обаяния"... — что было большим с ее стороны свинством, потому что именно она устроила меня посещать эту самую школу после моей душевной травмы, о которой я задним числом расскажу...

— Проветрись, — сказала Маринка, вручая абонемент, — может, научишься чему путному, — хотя по глазам ее было заметно, что она сильно сомневается в моих способностях. — Это курс лекций одного мощного кооператива психоаналитиков, психоэнергетиков, сексопатологов и патологоанатомов. Очень ушлые ребята.

И я пошла в "Школу женского обаяния". Набилось на курс всякого женского отброса — так, шелуха картофельная... Ну, и я среди них. Читал курс старый психоаналитик Соломон Яковлевич.

— Девочки, внимание! Вы просыпаетесь! — торжественно восклицал Соломон Яковлевич. — Что вы делаете первым делом?

Загубленные жизнью девочки тянули робким нестройным хором:

— Зарядку?..

Соломон Яковлевич отмахивался:

— Можно, но необязательно. Внимание, девочки! Вы проснулись! И! До! Умывания, завтрака, до того, как почистить зубы, вы! Берете пятикопеечную монету и вставляете между ягодицами. Далее! Не роняя монеты, с напряженными ягодицами, подтянутым животом и расправленными плечами и грудью, вы умываетесь, чистите зубы, варите кофе...

Робкая рука тянулась вверх:

— С монетой весь день ходить?

— Нет, конечно, нет, — снисходительно усмехался Соломон Яковлевич. — Это вам не по силам. Вы — стоя! — не снимая напряжения с ягодиц, с расправленной грудью допиваете кофе, аккуратно вынимаете монету и начинаете свой творческий день. Но осанка — царственная женская осанка — остается...

Возле меня сидело угрюмое юное существо — серый ежик на голове, серьга в одном ухе, — конспектирующее каждое слово блистательного психоаналитика. Существо волновалось. Оно хотело знать, раз и навсегда: как насчет белья?

— А как насчет белья? — с тихим упорством врывалось существо в каждую паузу.

Но Соломон Яковлевич то ли глуховат был, то ли не терпел, когда прерывали его монолог, — обходил жгучий вопрос. Существо возле меня ерзало и поскребывало ручкой в сером ежике на голове.

На занятия допущены были трое мужчин. Они служили муляжами. Так и назывались: муляж номер один, муляж номер три. Как правило, подрабатывающие студенты. За день работы они получали 12 рублей.

— Девочки, внимание! — начинал занятия Соломон Яковлевич. — К вам на улице пристает мужчина. Так, муляж номер два, начинайте приставать к девушке. Да двигайтесь поживей, вам за это платят! Девочки, быстро вспоминаем технику отшивания, мы проходили это на прошлых занятиях.

В коротеньком перерыве все пили чай с печеньем за счет кооператива. Соломон Яковлевич опускал в стакан печенье углом, угол набухал, отваливался, и Соломон Яковлевич долго гонялся ложкой за лохматыми кусками, и только по этому видно было, что он уже очень пожилой человек.

— Девочки, слушайте старого Соломона Яковлевича, который только из любви к вам взялся вести эти занятия, — говорил он, вылавливая ложкой кусок печенья. — Над мужчиной надо работать всю жизнь. Чтобы из поросенка воспитать мужчину, нужно потратить годы и годы. Девочки, милые, поверьте старому Соломону Яковлевичу, он знает все, сам был поросенком... Девочки, внимание! Вот он пришел домой, с работы, голодный. Что вы делаете?

На едином страстном выдохе девочки выпевали:

— Кормлю-уу!

— Ошибка, девочки, ошибка! — торжествующе поднимал палец Соломон Яковлевич. — Внимание! Вы вку-ша-ете вместе с ним! А это сближает...

— А как насчет белья? — выкрикнули рядом со мной.

— Нет-нет-нет! — с испуганным выражением на лице воскликнул Соломон Яковлевич. — Сегодня этот вопрос мы затрагивать не будем. Это огромная важная тема! Работе с трусами мы посвятим большое занятие... А сейчас внимание! Наш сегодняшний урок мы посвящаем поведению в

гардеробе. Итак! Мужчина подает вам пальто. Муляж номер два, подавайте даме пальто... Ирочка, не оглядывайтесь, не надо суетиться, он должен поднести пальто к вам тогда, когда вы опустили руки. Это его проблема. Поднес. Муляж номер два, поднес! Ира, небрежно и легко опустили правую руку в рукав. Не оглядывайтесь! Не задирайте левый локоть, вы не кузнечик. Он опустит рукав пониже и поймает вашу руку, это его проблемы. Так! Пальто надето. Чуть отклонилась назад, к его лицу, дать на секунду вдохнуть аромат французских духов, и! Пошла, Ирочка, пошла вперед, не оглядываясь, он догонит, это его проблемы! Муляж! Что вы стоите, как манекен, следуйте за дамой... Ира — нога от бедра, пошла нога от бедра. Вспомнили пятикопеечную монету...

В общем, я не стала дожидаться большого занятия, посвященного работе с трусами, потому что к моей душевной травме работа с трусами если и имела какое-то отношение, то очень, очень косвенное...

И не стала пересказывать Маринке про пятикопеечную монету. Не потому что — жалко. Просто по натуре я — пессимист и знаю, что если уж нет царственной женской осанки, то хоть рубль вставляй — ничего не поможет...

Я все это задним числом рассказываю, так сказать, на фоне тех же декораций — апрель, тепло, огромный сиреневый куст у поворота аллеи. Впрочем, и про это было уже у какого-то писателя...

...С Косей я познакомилась, когда ему не за пятьдесят было, а под. Волосы его седоватые очень эффектно вились, знаете — перец с солью... Бабы под Косю валились снопами. У нас в роддомах очереди большие на аборты, так вот — все от Коси. Он очень артистичен был и рассказывал всякие байки из своей жизни так складно, что, бывало, слушаешь его, как щегла: все время новые коленца.

А у меня папа, знаете, по дяде — перс. Подозрительный, властный, деспотичный, и чтоб в девять вечера — дома была. А я же взрослая баба, психологическая усталость накапливается, то, се... И тут появляется Кося из города Таллина и начинает просто бешено за мною ухаживать. Ну, бешено! В тот год Кося приехал из Таллина подработать на маце. Он, будучи артистичным человеком без профессии, каждый год ездил куда-нибудь на заработки. В восемьдесят третьем, например, мидий собирал на Белом море, а также отлавливал морских звезд, высушивал и продавал оптом в киоски "Союзпечать", а там звезды шли как сувениры на подставке с надписью: "Привет с Белого моря!" И неплохо заработал.

Ну, а в тот год он приехал подработать на маце. Его шурин станок держал, подпольно, конечно, где-то в подвале на Марьиной роще. Бумажный мешок — шесть рублей. И знаете, довольно большой мешок.

И вот Кося работает на маце и одновременно бешено за мною ухаживает. Цветы, конфеты, прогулки по городу — деться же, разумеется, некуда: дома папа, перс по дяде. И Кося без конца рассказывает свою безумную жизнь в городе Таллине с разведенной женой Татьяной Евсеевной. Как она изменяла ему, бедному! Как он, бедный, ей изменял! И как в конце концов, не выдержав, ушел от нее в дощатую коммуналку с холодным туалетом на краю города. В общем, в этом месте он делает мне предложение. Понимаете? Приходит ко мне домой, с цветами, и просит у папы моей руки.

— А ноги? — спрашивает папа с восточной подозрительностью.

Словом, примчалась Маринка на такси, распили мы бутылочку коньяка, папа немного всплакнул, потому что растил меня не для Коси, а для своих преклонных лет. Но куда денешься...

Между прочим, Кося хотел немедленно расписаться, но тут выяснилось, что в городе Таллине он забыл нечаянно свидетельство о разводе с Татьяной Евсеевной, а без этого свидетельства нас отказались расписать. Неважно, сказал Кося, со временем постепенно распишемся. Главное, чтоб любовь была в сердце.

И хотя, честно говоря, я это корректировала уже у какого-то писателя, обаяние Косиной улыбки сильно освежало иные его фразы...

В общем, Кося переехал к нам с папой и перевез свою долю мацы — мешков двадцать, потому что к тому времени поссорился с шурином, хотя на станке продолжал еще работать.

И такая замечательная продукция у них шла, имею в виду мацу: тонкая, хрусткая, поджаристая — что тебе в суп, что с молоком, что с чаем — просто прелесть!

Ну, два мешка купили мы с папой — маца неожиданно пришлась папе по вкусу, он ее в суп крошил. Мешок купила Маринка, по всему городу везла его на метро до конечной своей, Красногвардейской. Дай, говорит, газеткой только прикрою, чтоб народ не видел. Потом целый год жалела, что всего один мешок взяла — ее муж Ленечка и сын Серега как семечки ту мацу грызли. Да и Лакки, английский сеттер, — кинешь ему кусок — он схватит и хрустит, как заправский еврей.

Три мешка приобрел один писатель-почвенник, очень известный, я даже фамилии не привожу. Насчет мацы я не злорадствую: почвенник был язвенник, а маца при подобных заболеваниях гораздо, гораздо полезнее хлеба. Почвенник приехал на своем "Вольво" и долго торговался, характерно окая.

И вот — надо же какие совпадения бывают в жизни: в этот день в который раз повторяли многосерийный фильм по роману этого писателя. Так что он торговался, одним глазом посматривая на экран, где ведущие советские актеры окали точь-в-точь как автор романа.

— ПОчему этО у вас маца пО шесть рублей, а в БОльшой ХОральной синагоге пО пять пятьдесят? Печати не видать.

— Какой еще печати? — темнея персидскими глазами, спрашивает мой папа.

— ЭтО как же вы не знаете? — говорит укоризненно писатель-почвенник на фоне грудной протяжной песни из фильма. — Печать главного раввина, О тОм, чтО сия маца кОшерна.

А папа к тому времени так приноровился торговаться, что ему палец в рот не клади.

— Знаете что, — говорит он, — тут уж либо — либо. У них кошер, у нас качество.

Даже соседка, Изабелла Федоровна, на что уж женщина непреклонная — и та крепилась-крепилась, да не выдержала, купила мешок.

— Я, — говорит она папе, — верю вам, как брату, Василий Ибрагимович; вашу мацу я буду есть, а ихнюю — в рот не возьму. Всем известно — чего они в свою мацу добавляют...

В общем, замечательно мы расторговались. Два месяца моя жизнь была посвящена Косе и маце, маце и Косе. А это очень много душевных сил забирает. Я вообще, когда люблю, растворяюсь без остатка в любимом человеке. Впрочем, про это было уже у одного писателя.

Ну, и вот. Проходит Пасха, и наша, и та самая, и начинают Косе лететь письма от бывшей супруги Татьяны Евсеевны. На Главпочтамт, до востребования. Теперь вам встречный вопрос:

договорились они писать друг другу, что ли? Ну, ладно, получаешь письма, так помалкивай, да? А он мне их читает, и слеза скатывается с его кудрявой ресницы и бежит по крупному его блестящему носу. "Вернись, Кося, милый, — пишет Татьяна Евсеевна, — мы мебель переставим, все заново начнем..." — и, кажется, он совсем не чувствует, что это было уже у одного писателя.

И лежит он целыми днями на диване навзничь, и смотрит перед собой большими мокрыми глазами. И рассказывает мне по ночам, как она изменяла ему, бедному, и как он, бедный, ей изменял! А работает Татьяна Евсеевна диктором на радио и обладает глубоким голосом с богатейшими модуляциями.

— В чем дело, Кося, — говорю я тогда с небывалым мужеством. — Ты, конечно, сделал мне предложение с цветами и перед папой, вся столица знает, конечно, что ты мой муж, но если радийный голос Татьяны Евсеевны зовет тебя так трубно и ты внимаешь ему за тыщу километров, так вали себе в Таллин, хотя я ничего не понимаю и все смешалось в моих представлениях о мужчине.

Кося садится на диване и говорит мне:

— Анна! Ты прямолинейна, как гвоздь! Неужели ты не понимаешь, как я тебя люблю! Но у Татьяны Евсеевны может начаться обострение гастрита, у нее может сесть голос, а голос — это ее богатство. Мне надо поехать и разобраться в своих чувствах. Мне нужно время, дай мне время!

А я слушаю его и вспоминаю, что корректировала все это у одного писателя.

Словом, покупаю я Косе билет до Таллина, покупаю ему носки и трусы и провожаю в аэропорту, как жена провожает мужа, хотя, повторяю, все, что я знала и понимала в жизни, смешалось и рассыпалось.

И вот Кося возвращается в Таллин и начинает звонить мне, как сумасшедший, каждый день. Как ему плохо, бедному, и как там я, и с кем я без него, бедного... Кося, кричу я, на какие деньги ты звонишь? Не волнуйся, говорит, мне Татьяна Евсеевна одолжила. Как же так, Кося, кричу я, потому что очень плохая слышимость, — это ж Бог знает что, в смысле этики. С чего мы возвращать будем? С моей корректорской зарплаты? Анна, кричит он в ответ, ты прямолинейна, как гвоздь!..

Ну, а я худею и страшнею настолько, что впервые в жизни пропускаю в гранках одной научно-популярной книжки ужасную опечатку, которую прежде ни при каких обстоятельствах ни за что

бы не пропустила: я прозевала подпись под фотографией: "дубовый член первобытного человека", в то время как подпись должна была быть "долбленый челн первобытного человека". В общем, такой скандал, что и передать трудно. Правда, на летучке у главного меня многие редактора защищали. Упоминалось, что фотография долбленого челна была некачественной, размытой и что следует принять во внимание неприятности в моей личной жизни.

Маринка, человек просветленный до циничности, как и всякий талантливый детский писатель, говорит мне: "Езжай. Там разберешься. Там увидишь, кто держит его за... его долбленый челн".

И вот я лечу и прилетаю в Таллин, прекрасный туманный город, которого я просто не вижу, потому что седеющие Косины кудри заслоняют от меня ратушу, соборы, черепичные крыши и прочие виды.

Кося везет меня в свою комнатенку в дощатом коммунальном доме на окраине города, очень суетится и успевает по пути рассказать чудовищное количество анекдотов. Я натужно улыбаюсь сизыми губами, потому что ситуация мне совершенно не ясна, и тошно мне не столько от того, что не могу понять — замужем ли я, сколько от того, что не могу понять — разведен ли Кося. Вот такое восточное воспитание дал мне мой страшный папа, по дяде — перс.

В дощатом домике с тремя соседями и холодным туалетом события и вовсе разворачиваются в сюрреалистической плоскости. Представив меня соседям как двоюродную сестренку из Киева, Кося жарит на общей кухне свиные отбивные, одновременно весело рассказывая мне, сколько денег он выручил за прошедший месяц, насобирав в соседнем лесу пустых бутылок... Кто-то входит в кухню, толчется у столов, уходит — Кося комментирует все очень смешно.

— Мой сосед — алкоголик, — шепчет Кося. — Вообще он голубь, но, когда напьется, воркует сильно, через стену слышно...

Чахлые балтийские сумерки долго колеблются за окном, не в состоянии сгуститься в ночь, и тут является с бутылкой коньяка довольно трезвый еще актер, Косин друг, — забыла, как его звали. И вот, когда, слегка выпив, Кося выбежал из комнаты — перевернуть на сковороде отбивные, друг его — забыла, как его звали, — вдруг говорит мне грустным мягким голосом:

— Аня, мне кажется, вы такой искренний, симпатичный человек, неужели вы не видите — с кем связались?

— Вы пьяны, — с достоинством бедной швеи отвечаю я на это, — и не смейте говорить о Косе гадости.

— Я, конечно, пьян, — подтверждает он грустно, — но вам от этого, увы, не легче.

— Кося мой муж! — гордо говорю я и с тоской чувствую, что все это я уже вычитывала, и не у одного писателя, а он — вот забыла, как его звали! — поморщился так досадливо и говорит:

— Да какой там муж! Он прекрасно живет все это время с Татьяной Евсеевной. Они очень друг другу подходят. Они и расходились, чтобы вот эту комнату оттяпать.

И тут с горячей сковородкой возвращается из кухни веселенький Кося и еще успевает в остывающей тишине рассказать два еврейских анекдота с великолепным — он все-таки очень артистичен был — акцентом.

— А что, собственно, случилось? — наконец интересуется он.

— Кося, — спрашиваю я деревянными губами, — а ты с Татьяной Евсеевной договорился, что ли, что я тут с тобою маленько поживу? Она тебе отпуск дала?

Тогда Кося переводит взгляд на этого своего хм... друга — жаль, что забыла, как его зовут, — и с ледяным бешенством цедит:

— Ну, ты... какого... в чужую жизнь... — хватает за грудки этого милого, как впоследствии я поняла, человека, и поскольку сковородка ему мешает, он бросает ее на пол, и отбивные разлетаются по щербатому некрашеному полу. Кося и друг его, сгрудившись, топчутся и матерятся, скрипя зубами.

Вся эта интермедия совершенно выпадала из моей тихой жизни, с желтыми листами корректуры, спокойными вечерами со строгим папой, и стало вдруг очевидным, что семейная моя жизнь, хрупкая, как лист мацы, хрустнула и раскрошилась, и затоптана.

В это время Косин друг поскользнулся на отбивной, рухнул, и Кося сел на него сверху и закрутил ему руку за спину.

Я встала, надела куртку и пошла к двери.

— Стой, Анна! — заорал Кося, сидя верхом на этом милом человеке. — Ты что, ты веришь этому мудаку?!

Он схватил меня сзади за воротник, и я задохнулась.

— Едем!! — орал он, сильно меня потряхивая. — Едем к Татьяне Евсеевне! Только она расскажет тебе, как я страдал!

Он потащил меня в холодную хлябь весеннего дождя, встряхивая по пути и матерясь в адрес своего... ну, давайте все-таки я буду называть его другом...

Потом он впихнул меня в подвернувшееся такси, ввалился рядом и мы поехали зачем-то к Татьяне Евсеевне — что-то там выяснять, хотя все уже мне было ясно.

Татьяна Евсеевна открыла дверь рывком, словно стояла часа два в темном коридоре, приникнув к глазку.

— Идиот! — сказала она Косе глубоким звучным голосом, совсем не обращая на меня внимания. — Чего ты приперся среди ночи? Ты истерзал мое сердце! Ты погубил мою жизнь!

И у меня мелькнула мысль, что Татьяна Евсеевна, должно быть, не только последние известия читает по радио, но и в радиоспектаклях, пожалуй, играет.

— Таня... — вибрируя всем телом, проговорил враз обмякший Кося. — Меня предали, Таня...

Она круто повернулась и пошла, сильно стуча деревянными сабо, в комнаты. Кося ткнул меня пятерней в спину, и, споткнувшись на пороге, я тоже влетела в квартиру, после чего дверь захлопнулась. Здесь, в коридоре, Кося, как-то сразу угомонившись, снял куртку, переобулся в домашние тапочки и зашлепал следом за Татьяной Евсеевной. Кажется, обо мне они подзабыли. Я потопталась в коридоре и тоже пошла в столовую. Там оказалось очень уютно, по-видимому, у

Татьяны Евсеевны был тонкий вкус понимающей в жизни, близкой к климаксу дамы. И я разглядела ее наконец: очень интересная женщина была Татьяна Евсеевна: крошечная, на коротковатых ногах, с чудовищным носом и прекрасными черными глазами — она завораживала своим дивным профессиональным контральто.

— Идио-от, — простонала она опять, и я ощутила почти зримо, почти увидела, как звук этого низкого сильного голоса захлестнул арканом Косину шею и потянул к себе, как тянут на поводке упирающуюся собаку. — Что ты хотел, — чтобы люди тебя понимали! Я растеряла всех, я смирилась с людским злом, я никому не верю, я всегда говорила тебе... — На полуслове она пошла в соседнюю комнату, может быть, в спальню, и через минуту вернулась с пачкой сигарет и с какими-то фотографиями. Странно, как умудрялась она дома ходить на таких высоченных сабо... Зачем?

— Но — Таня, — Кося умоляюще протянул к ней руки. — Скажи, ответь ради всего святого... Ведь мы с ним были друзьями...

— Кося! — Татьяна Евсеевна тем же обкатанным театральным жестом протянула руки к нему, и получилась классическая мизансцена, и от того, что на ногах ее были сабо на толстых подошвах, казалось, что стоит она на котурнах и играет для меня какой-то очень знакомый спектакль. Для меня лично. — Кося! Никто нам не нужен... Мы отдохнем... Милый, мы отдохнем...

И я знаю, что уже раз пять корректировала каждую эту фразу, но в экстремальной такой ситуации не могу вспомнить — у какого писателя.

— Снимайте, снимайте свое пальтишко, — вдруг обратилась она ко мне. Обдуманно употребила уменьшительный суффикс "ишк", для выражения презрения. (Когда я догадалась — что она вытворяет своим голосом, я стала понимать ее как профессионал профессионала.)

Пальто у меня, конечно... Я его в "Детском мире" купила — клетчатая такая курточка до колен, на бирке было написано: "куртка девочк.", вместо пуговиц палочки деревянные, на такие щеколды дачные сортиры запираются. Просто мне идет спортивный стиль. Да... Снимайте, снимайте, говорит, свое пальтишко...

Я села в уголок дивана, а она, Татьяна Евсеевна, присаживается рядом, тесно, подает мне фотографии какие-то и говорит:

— Это моя мама... Она умерла полгода назад... Ее все, все любили...

И так она доверительно, по-сестрински касается меня плечом, и я так тупо рассматриваю чье-то лицо на фотографии и — ну совсем уже ничего не понимаю — какая мама? при чем тут мама?!

— Это мама в молодости, в Кисловодске, — продолжает Татьяна Евсеевна, и я чувствую завораживающую глубину и магию этого голоса, — с Шуриком на руках. Шурик — это мой брат, он известный литературовед.

Она курит одну сигарету за другой, говорит о маме — и знаете, очень искренне говорит глубоким печальным голосом, и я понимаю, что, в принципе, она могла любить свою маму. Могла? Ведь могла? Но... Помилуйте, при чем тут мама!

Кося между тем совсем пригрелся, прихорошился, замурлыкал песенку, ушел, шаркая тапочками, в кухню.

— Таня, — позвал он оттуда. — А покушать есть чего?

— Возьми гречневой каши в кастрюле, — отозвалась Татьяна Евсеевна.

— А где она?

— Господи, ничего никогда не найдет сам, — вздохнула она, поднялась и ушла в кухню.

Я все еще держала в руках фотографию с какой-то пальмой.

— Ну вот же, вот она стоит, — донеслось из кухни раздраженное, — сыр возьми. Чего на ночь-то жрать, не понимаю. Завтра опять будешь ныть, что печень болит.

— Слушай, надо бы завтра яиц купить. Да, забыл: Мазуцкий звонил насчет халтуры. Три детских садика заказывают выпускные фотографии.

Я положила карточки на диван, тихо встала, на цыпочках прошла в темный коридор и, нащупав замок, быстро повернула его и вышла вон, бесшумно притворив за собою дверь.

Минут десять я бежала наугад, не понимая — куда, словно за мною гнались. Я петляла по улицам, забегала в переулки, словом, всячески заметала следы.

Наконец выбежала на какую-то узкую улицу средневековой архитектуры и остановилась: все нижние этажи зданий занимали витрины магазинов. В полном безлюдье раскачивался на ветру подвешенный на цепях кованый сапог, бледно светились глумливые морды манекенов. В одной из витрин раскинули рукава распятые мужские рубашки, так, что хотелось вставить туда гармонь. Эта распашка пустых объятий пугала больше, чем мертвые улыбки манекенов.

И вдруг из переулка вышел странный, давно не бритый человек, и, возможно, кому-то и страшным бы показался, особенно в синеватом свете витрин, но я не испугалась. В моих смешных обстоятельствах кто уже мог мне навредить? Убить, например, или еще что — нет, это уже была бы другая стилистика. А жизнь, она, знаете, очень щепетильна в вопросах стиля, особенно когда дело касается фарса.

И действительно, человек подошел ко мне и спросил заботливым голосом:

— Извините, вам шаль не нужна? — И вытаскивает из чудного такого бархатного чехла с вышитым на нем подсвечником тонкой материи шаль не шаль, а что-то вроде длинного широкого шарфа, белого, с кистями, с поперечными черными полосами по краям. Видно сразу — благородная, красивая вещь. Что-то она мне сильно напомнила.

— Вы не волнуйтесь, это не краденое, — торопливо объяснил небритый. — Видите ли, у меня траур, дедушка скончался. Это от него осталось. Попробуйте — какая ткань, попробуйте. За четвертак я вам отдам. Вам же холодно без головного убора.

И хотя я не понимала — почему от дедушки осталась женская шаль и зачем ночью, на улице, продавать память о дедушке, я сказала:

— Ну, хорошо, четвертак — это недорого.

Он обрадовался, сунул мне бархатный чехол с шалью и, пока я доставала деньги, говорил торопливо:

— Понимаете, у меня жена... она и так раздражена, что я не бреюсь семь дней по закону, а тут еще этот дедов... шаль... Ну, до скандала, до развода — иди, говорит, выбрасывай куда хочешь, первому встречному продай этот наряд антихриста...

— Не нервничайте, — сказала я, — все народы должны в дружбе жить...

Он так радовался, пожал мне обе руки и даже вывел к центральному телеграфу, потому что мне необходимо было с папой поговорить.

Но полноценного разговора не получилось, даже денег жалко: когда папа снял трубку, я вдруг захохотала и не могла ничего сказать. Папа слушал минуты три мой хохот и взвизгивания и наконец сказал дрогнувшим голосом:

— Доченька... Доча, вернись, я все прощу.

И когда я это услышала, эту фразу, которую я корректировала сто раз у ста писателей, я вообще от хохота опустилась на пол телефонной кабины, я рыдала от смеха, я захлебывалась, я стонала, Господи, никогда еще я так не смеялась в жизни...

...А под утро я добрела до набережной, села на скамейку посреди пустынного пляжа и застыла. Море гудело, как... нет, не хочу, про все это уже было. Ветер выдувал тепло отовсюду, даже из подмышек. Я окоченела и казалась себе скифской бабой, затерянной в степи. И тут я вспомнила, что у меня есть шаль. Не теплая, конечно, но хоть что-то. Я достала ее из бархатного чехла, при этом на колени мне вывалились какие-то ремешки, похожие на уздечки, с коробочками, я надела шаль на голову, закуталась вся и даже подвязала на шее уздечкой, чтобы ветер шаль не сорвал. Сидела, дремала, мерно покачиваясь от утреннего ветра, и смотрела на пустынный пляж.

Когда я открыла глаза, уже рассвело. Море было похоже на жидкую дрожащую финифть. На пустынном пляже бодрая старуха делала зарядку. Она только что вылезла из воды, взобралась по крутому бетонному гребню на цепко раскоряченных ногах и делала зарядку, да не обычную, а какую-то чудную, вроде китайской гимнастики у-шу. Старуха и была похожа на старого желтого китайца. Видно было, что она из тех людей, кто до старости в спортивных рейтузах и с рюкзаками на спинах взбираются на Камчатские сопки. Из тех старух, что лет тридцать уже не едят мяса,

рыбы, яиц, орехов, грибов, кофе, чая — потому что все это вредно. Из тех старух, которые завтракают горсткой сырого геркулеса, запаренного кипятком, а обедают куском вареной свеклы, ну и так далее. Из тех старух, которые носятся с теорией могучей уринотерапии, по утрам опрокидывая стаканчик свежей собственной мочи. Словом, из тех.

Они действительно молодчаги и в девяносто лет свернутся вам в любую позу йоги, но говорить с ними почему-то совершенно не о чем, кроме как о йоге, голодании, клизмах и уринотерапии.

Да. А потом старуха обмоталась полотенцем и стала, суча ногами, стаскивать с себя мокрые трусы, чтобы сменить их на сухие. Полотенце съехало, обнажив старый морщинистый зад. Следовало деликатно отвернуться, а я смотрела на этот мятый мешочек старухиного зада, и вдруг страшная горячая жалость хлынула в мое горло: какое это, в сущности, издевательство — вся наша жизнь, думала я, и к чему зарядки, диеты, клизмы и уринотерапия, если все равно в конце концов пленительное человеческое тело превращается вот в это...

И вдруг я вспомнила, где видела такие белые шали, — в книжке одной, атеистической, я ее лет пять назад корректировала, — там на картинке были изображены евреи в синагоге, и у каждого на плечах была шаль, белая, с длинными черными полосами по краям.

И знаете — меня совсем не передернуло. Я поняла, что осталась единственной, кто будет хранить память о неизвестном дедушке.

Утром я купила билет на поезд до Москвы и, на случай, если Кося приедет искать меня, до отхода поезда пряталась в вокзальном туалете, о чем неоднократно читала у разнообразных писателей...

По средам литфондовский автобус возил нас в Старую Рузу. Набивалась в тарантас половина малеевских постояльцев. Знаете, в Рузе всегда какой-нибудь дефицит ухватишь — шампунь, например, бывает. Мы заперли Лакки в номере и минуты три стояли за дверью, слушая, как псина воет и рыдает. Маринка сказала решительно:

— Плевать. Я имею право распоряжаться собой, в конце концов, я тоже человек.

— Акын пожалуется, — напомнила я.

Номером ниже под нами жил классик казахской литературы, очень солидный человек, — мы называли его условно: Акын. Он уже неоднократно жаловался дежурной по корпусу Люсе, что Лакки воет и лает во время творческого процесса. В ответ на жалобы мы совали в синий карман синюю пятерку, и жалоба как-то не доходила до администрации, глохла у Люси в кармане.

— Ей-Богу, сегодня пожалуется, — повторила я, прислушиваясь к безобразным воплям избалованного пса.

— Дадим пятерку Люсе, — сказала Маринка.

— Может, лучше сразу дать ее Акыну? — спросила я...

...В Рузе мы прогулялись по сельмагам, зашли в "Детский мир", купили майку Сереге, Маринкиному сыну, потом заглянули в книжный — порыться в полках. Вдруг Маринка больно пнула меня локтем в спину, я обернулась, а у нее глаза просто горят бешеным восторгом.

— Это он!! — сдавленно шепчет Маринка. — Прислушайся к разговору — охренеть можно!!

Оборачиваюсь — да, молодой человек лет сорока, в очках, в светлом плаще, излишнем для теплой такой погоды, беседует, облокотясь на прилавок, с продавщицей.

— А Бахтин не поступал еще? — спрашивает он мягким, каким-то пугливым голосом. — Должен уже поступить по времени... Издательство? Кажется, "Просвещение"... Вы не заказывали?

Продавщица, я смотрю, мало что о Бахтине слышала, лицо соответствующее, а этот молодой человек...

Но тут Маринка потащила меня из магазина волоком, потому что безбрежный восторг распирал ее, булькал и выходил через нос — она давилась и фыркала.

— Бахтин!! Бахти-ин!! — вопила она на весь автобус. — Ой, я не могу, это чудо! Это тема! Один интеллигент уселся на дороге! Издательство "Просвещение"! И кое-что еще, и кое-что другое!!

Писатели оборачивались на нее, но умеренно — за две недели они попривыкли к Маринке, да и то сказать — писатели народ сложный, у каждого своя биография...

Первым делом мы побили Лакки, который в наше отсутствие в знак протеста сделал кучу на письменном столе, прямо на черновик рассказа, прототипом героя которого он являлся.

— Сволочь!! — закричала Маринка с ненавистью и дала ему по морде. Лакки закрутил башкой и полез под кровать. — Сволочь! Я о нем рассказ нетленный пишу с большим будущим, а он — взять и насрать на рукопись!

— Это неграмотно сказано, — заметила я машинально, хотя, признаться, люблю то, о чем еще ни один писатель не писал. — Так Акын скажет. А ты русский писатель.

— А как грамотно, как?! — вопила Маринка.

— Грамотно: "а он взял и насрал на рукопись".

Но Маринка меня не слышала — она как-то странно смотрела на Лакки, который опасливо и виновато высунул морду из-под кровати.

— Подожди-ка, — пробормотала она, — дай очки... — Не оборачиваясь, она протянула руку, взяла на ощупь протянутые мной очки и насобачила их на длинную морду пса.

— Смотри! — крикнула она.

Я всмотрелась и оторопела: длинная интеллигентная морда Лакки в очках поразительно напоминала внешность нашего пикантного знакомца. Казалось, сейчас он откроет пасть и спросит пугливо: "А Бахтина не привозили?"

В этот вечер поглазеть на Лакки в очках приходили все: Эмилия Кондратьевна, Миша с Русей, мрачный Кириллов.

— Это таки тема, — бормотал Кириллов, — это — цимис что за тема, — пока я не отняла очки, потому что без очков утомляюсь — у меня большая близорукость.

...На следующее утро я застала Кириллова у телефона в вестибюле главного корпуса.

— Теть Фира, теть Фир! — кричал он свое обычное, — Глубоков из МХАТа приезжал, нет? Таки взял?! А в синей папке вы показывали ему "Шизофрению"? Нет? У вас таки память, теть Фира, как — я знаю — что... Голова вам болит? А? Сердце вам болит?..

Повесив трубку автомата на рычаг, он вдруг задумчиво уставился на нее странным взглядом...

— Кириллов! — окликнула я. Я знаю, что ему приятно слышать лишний раз свою хорошую фамилию. — Кириллов, на что вы смотрите?

Он вздрогнул от неожиданности, оглянулся на меня и пробормотал:

— Я знаю? Кое-какие ассоциации...

...Тем же вечером все мы сидели на террасе, лениво поддерживая довольно хилую беседу. Миша потренькивал на гитаре, Руся задумчиво качался в плетенке, Кириллов молча бродил туда-сюда с сигаретой. Мы с Маринкой сидели на каменных перилах террасы и грызли семечки, купленные утром на станции Дорохово. У наших ног дремал Лакки.

Эмилия Кондратьевна работала. Она вообще могла работать в любых условиях. Сейчас она держала на толстых коленях ученическую тетрадку и что-то писала в ней, время от времени заглядывая в тощую книжку какого-то детского писателя.

— Замечательно! — воскликнула она вдруг, отрываясь от тетрадки с младенческой улыбкой. — Изумительно по стилю. Очень талантливый парень этот Говорунков. И все так светло, ясно, наивно. Среди всей сегодняшней литературной грязи читаешь вдруг, — Эмилия Кондратьевна зачитала нараспев: — "Мама, — сказал я, — мне так нравится эта девочка в синем платье... По-моему, она должна нравиться всем мальчикам..."

Миша хлопнул по деке гитары ладонью и запел:

Три полудевочки, один роскошный мальчик,

Который ездил побираться в город Нальчик,

И возвращался на машине марки "Форда",

И шил костюмы, элехантны, как у лорда...

— Знаете что, Эмилия Кондратьевна, — сказал мрачный Кириллов со своим жутким акцентом, — обрыдли таки ваши хорошие мальчики и невинные девочки. Вырастает таки дерьмо. Наркоманы, проститутки, я знаю?.. Все летит к чертям — нравственность, идеи гуманизма, привязанность к Отечеству. Распад и гниль, и преклонение перед иностранным... Все это и надо отражать в литературе.

— Но тут Арончик пригласил ее на танец, — запел Миша, — он был для них тогда почти что иностранец... Слушайте, Кириллов, что у вас в голове? В голове у вас, извините, такой же акцент, что и во рту... Литература не помойка, чтобы сбрасывать в нее все дерьмо общества. Можете сколько угодно писать о расчлененных трупах, лучше от этого никто не станет, и радости от этого мало, ибо катарсиса — катарсиса нет!

— Уж не в вашем ли "библеизме" катарсис? — насмешливо спросил уязвленный Кириллов. — Послушайте, как говорил один мой знакомый маркер...

Миша треснул по струнам и перебил Кириллова:

Тут подбежал к нему маркер известный, Моня,

Об чей хребет разбили кий в кафе "Фанкони",

Побочный сын мадам Олежкер, тети Эси...

— Прекратите ваши гнусные намеки! — сильно вскрикнул Кириллов.

Лакки, потревоженный его возгласом, вскочил и зарычал.

— Господа, господа, — заволновался Руся, — такой прекрасный вечер, а вы о всяких гадостях... Радуйтесь природе, любите друг друга! Посмотрите, какое небо расстилает над нами Господь, как он показывает нам...

Эмилия Кондратьевна послушно задрала в небо крашеную пожилую башку и вдруг издала сдавленный вопль. Мы дружно подняли взоры. Да, вот этого я ни разу не корректировала: в небе, повыше сосен, висел огромный продолговатый предмет, напоминающий по форме банан или огурец. Он медленно проплывал над нами в жуткой тишине, в которой только перебрехивались псы деревни Глухово.

— Что это?! Что?! — захныкала Эмилия Кондратьевна.

— Не пугайтесь, — сказала Маринка бодро. — Это аэростат. Я на таких летала в юности.

— Кой черт аэростат! — взвизгнул Кириллов. — Это НЛО! Смотрите, смотрите, он качается! Остановился!!

— Мне дурно, — заплакала Эмилия Кондратьевна, — Боже мой, это знамение!

Лакки оглушительно залаял на незнакомый предмет в вышине, и тот, плавно покачиваясь, поплыл за верхушки сосен, стал уменьшаться, меркнуть и наконец пропал.

Стоит ли говорить, что до поздней ночи на террасе обсуждали странное явление. Был ли это оптический обман, НЛО или банальный аэростат, на чем настаивала Маринка, — не знаю... Но долго еще мы то и дело осторожно, искоса взглядывали на небо, и больше уже не решались говорить ни о литературе, ни о падении нравов, словно кто-то неведомый крепко снасмешничал над нашими беседами, показав цену их и суть...

...Я понимаю, грубо говоря — вам нужна развязка.

Да, я тоже встретила его. Дня за два до отъезда. Я не сразу его заметила, сначала увидела велосипед — он лежал на песке, на обочине аллеи. Потом я обратила внимание на человека в светлом плаще. Он крался за мной, перебегая от сосны к сосне, стыдливо показывая из-за ствола лицо и еще одну деталь своего тела, которую по причине моей близорукости вполне можно было

принять за деталь данного дерева. Нет, правда, у него было вполне интеллигентное лицо, непонятно даже — зачем отвлекать внимание встречных дам с такого приличного лица на нечто противоположное по смыслу и назначению.

Да, это верно — почему-то сразу захотелось бежать сломя голову куда-нибудь прочь, но я сдержалась. Я подумала — когда Кося несколько месяцев моей жизни занимался, в сущности, тем же самым, я же не бежала, хотя и стоило убежать тотчас, как я поняла — чем он занимается.

Я остановилась и сказала ему громко:

— Бахтина, если вы имеете в виду книгу "Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса", выпустил "Худлит", а не "Просвещение"... Тут вы ошиблись.

Он судорожно застегнул плащ на все пуговицы и застыл в странной позе, точно собирался бежать.

— Кстати, у меня есть это издание. Могу обменять, если заинтересуете.

Он помолчал, подумал, помял пальцами сорванную ромашку и спросил тихо:

— Гумилев вас устроит, "Письма о русской поэзии"?

— Нет, знаете, Гумилева оставьте себе...

— А Мандельштам? — спросил он неуверенно. — Полное собрание, правда, ксерокс.

— Мандельштам есть, спасибо. А вот Чарской у вас, случаем, не найдется, "Княжна Джаваха"?

— За кого вы меня принимаете?! — воскликнул он с легкой обидой. — Вы еще предположите, что я святочные журнальчики собираю.

— Ну, вы напрасно так категорично, — возразила я, — на Чарской не одно поколение выросло... Мне недавно попалось на глаза одно исследование, не помню только — в каком журнале...

В эту минуту в конце аллеи показались Эмилия Кондратьевна с Маринкой, и мой собеседник отпрянул, страшное замешательство появилось не только в его лице, но во всей его фигуре. Боком, молча, он скользнул за ствол сосны, пропал за сиреневым кустом, а там уж на повороте дороги мелькнул его силуэт на велосипеде. Словом, он бежал...

Я не стала почему-то рассказывать Маринке об этой встрече. Оставшиеся два дня я старалась выйти из столовой без попутчиков и медленно шла по аллее, вглядываясь в просветы между деревьями — не мелькнет ли светлый плащ. Нет, он не приехал больше на своем велосипеде...

Я не стала ничего рассказывать Маринке, потому что она охальница, как и всякий талантливый детский писатель, и стала бы строить предположения, громко ржать и отпускать дурацкие замечания. Зачем?

Да, этот человек вел себя необычно, скажем жестче: неадекватно. Но кто из нас без странностей? И у кого чиста биография? И кто может поручиться за себя в дальнейшем?

А еще я думаю о Косе. Что это было с ним, что? Что привязывало его к Татьяне-то Евсеевне? Ведь не деньги же — я тоже неплохо зарабатываю. Кося и у меня бы нужды не знал. Голос и у меня модуляциями не бедный. Так что же, что? И, знаете, думаю — она, Любовь. Шлюховая, конечно, подловатая, но она самая, сомневаться не приходится... И как задумаюсь — мне становится всех-всех жаль. И мрачного Кириллова, который безвинно тащит по жизни свой ужасный акцент, и Мишу с Русей, сочиняющих бодягу, и милую старую дуру Эмилию Кондратьевну, и Маринкиного мужа Ленечку, от которого она все время куда-то уезжает; мне жаль и Косю, который болтается по жизни, как дерьмо в проруби, и Татьяну Евсеевну, которой не с кем поговорить о покойной маме, жаль психоаналитика Соломона Яковлевича, который ловит в стакане чая размокшие куски печенья и искренне верит, что может научить счастью существо с серым ежиком на голове; мне жаль и интеллигента в светлом плаще, а когда я поднимаю взгляд в небо, мне до смешного жаль Того огромного, неведомого, одинокого, который зачем-то создал всех нас по Своему подобию...

И тогда мне кажется, что всю жизнь я сижу на пустынном берегу моря в молитвенном облачении старого еврея, и ветер тихо играет кистями его, проданного внуком, белого талеса...

Мастер-Тарабука

К открытию выставки все уже было готово...Он сидел в галерее, пил с Шерманом холодное пиво, принесенное из соседней забегаловки, и оглядывал картины на стенах.

Это была первая его серьезная выставка в стране. Прошел год после приезда — целый год, в течении которого он болтался по городам в поисках работы, по галереям в попытках заинтересовать хозяев своими картинами, по кибуцам и сельхозкооперативам, стараясь получить заказы на раскрашивание водонапорных башен.

Наконец, Шерман дал согласие выставить его работы к празднику Суккот на целых две недели. Время было хорошее, осеннее, туристическое — Митя строил планы и ждал от этой выставки некоего поворота судьбы.

— Осталось последнее, — сказал Шерман, прихлебывая пиво и отирая толстой пятерней пену с усов. — Сейчас приедет специалист по освещению...

— Я люблю, чтобы всем занимались профессионалы, — сказал он, помолчав. Казалось странным, что у этой пивной бочки, обсиженной бородавками, одна из самых эстетских и дорогих галерей в стране.

— Я не как некоторые: повесил картины и будь что будет, — добавил он... — последнее слово в экспозиции у меня говорит специалист по освещению.

Тут раздался грохот и в витрину галереи чуть не влетел мотоцикл. Юноша, примчавший на нем, — необычайно хрупкий рядом со своим блестящим черным быком, — снял шлем, тряхнул гривой волос и оказался девушкой. Это и был специалист по освещению.

Она вошла, улыбаясь широкой клоунской улыбкой, шлем свисал на ремне со сгиба тонкого локтя, как корзинка с ягодами.

Мгновенно стала командовать, спорить по экспозиции, перевесила три картины местами и при этом смеялась, смеялась.. — странная особа: ничего смешного Митя во всем этом не находил. Но была она очень хороша, впоследствии выяснилось — откуда в ней странное сочетание отрешенной восточности и западной деловитости.

Восточный "крой" внешности — длинные брови на узком смуглом лице, и особенное стремительное изящество походки она заимствовала от отца, иракского еврея, прибывшего в страну в конце пятидесятых годов. Прозрачные, чуть выпуклые серые глаза с россыпью золотых крапинок на радужке, были материнскими. Ее мать вывезли перед войной из Германии в Палестину дальновидные и богатые родители. Эта взрывчатая смесь породила пятерых шумных, резких в движениях, обуянных страстью к мгновенному переключению жизненных скоростей, горластых детей обоего пола. Семья содержала два больших магазина электротоваров — в Тель-Авиве и Яффо, и фирму по установке освещений разных объектов.

Впрочем, все это выяснилось позже.

Несколько споткнувшихся друг о друга взглядов, две-три фразы — исключительно по делу! (она действительно была классным специалистом: где-то убрала прямой свет, где-то направила его прямо на картину, где-то приглушила, где-то вдруг осветила пустой угол с одинокой плетенной корзиной, — и экспозиция выставки мгновенно приобрела респектабельный, неуловимо западный, дорогой вид...); ее клоунские складочки вокруг всегда смеющегося рта, точные и плавные взлеты-движения рук, унизанных дешевыми серебрянными браслетами, какими —

целыми гроздьями — торгуют арабы на "шук пишпишим" — блошинном рынке в Яффо, и главное, его, Мити, неожиданное и несвойственное ему с женщинами, смущение ...— словом, минут через двадцать поняли оба, что влипли.

Так началась эта легкая забавная связь...

В то время он за гроши снимал мастерскую в старом арабском доме в районе Яффского порта, неподалеку от "шука пишпишим", — крикливого, пестрого, знойного, пропахшего корицей и кориандром, маслами и марихуаной, пропитанного запахами затхлых старых вещей, свезенных сюда эмигрантами разных стран и эпох, мерцающего из тьмы глубоких лавок зеленоватой медью, блошинного рынка, расползшегося разлапистым крабом по дюжине окрестных переулков.

Железные, крашеные ярко-синей масляной краской, ставни высоких мавританских окон после полудня защищали комнату от прямых лучей палящего солнца.

Она приходила часам к трем, легкой узкой ладонью выбивала по рассохшейся двери дробь, он открывал, они обнимались в дверях и проковыляв так несколько шагов, валились наощупь на широкий деревянный топчан, застланный пестрым восточным покрывалом, купленным по дешевке все на том же блошинном рынке...

...Она серьезно занята была в семейном бизнесе, но кроме того, мастерила замысловатые украшения из бусин старого тусклого коралла, меди и серебра, лепила из глины и обжигала потешные фигурки танцующих евреев, которые быстро распродавались в дорогих туристических галереях в Яффо, писала стихи и — потрясающе играла на тамбурине.

Это выяснилось в первый же день, когда, поблескивая в полутьме то влажной от пота спиной, то узким плечом, вдруг открывающим белое полукружье груди, она прохаживалась, осваиваясь в его мастерской. И увидела на полке, среди стеклянных банок, кистей, бутылочек с лаком, — тамбурин, купленный Митей по случаю здесь же, на блошинном рынке.

— О, тарабука!

Немедля уселась на стул в той позе, в какой садилась на мотоцикл, тонкими коленями обхватила бочонок с натянутой на него пергаментно сухой кожей, и легким хлопком сложенных пальцев извлекла одинокий звук, — пустынный и глухой. Этот, тянущий душу, оклик древнего пастуха несколько мгновений таял между ними...Вдруг дробь переката — с запястья на ладонь — рассыпалась по мастерской, как рассыпается по склону горы стадо овец; монотонно и упруго бормотали обе руки на натянутой коже, вперебивку, легкими звонкими шлепками ладоней одна за другой; затем, на подкладке нежного гула, который она создавала трепетанием пальцев левой руки, правая стала плести сложнейшие рванные ритмы, рука металась, билась, как бабочка в сачке, сновала рыбкой, зависала, вытягивая из шкуры невидимые нити замирающего звука, и в тот самый миг, когда он угасал, гулкий и ровный набат колокола вновь распахивал кулису пустыни, за которой обрушивался грохот волн о дамбу, а следом пробегало стадо степных скакунов, и запоздало, робко — скакали копытца заблудившегося жеребенка....

Приподнявшись на локте, он зачарованно смотрел на голого божка с тамбурином в коленях.

В полутьме она была похожа на мальчика-подростка. Несколько тонких солнечных лезвий от ставен пересекали ее плечи и грудь.

Выпуклые серо-золотые глаза стрекозы смотрели сквозь него, руки продолжали изнурительную пляску.

Нежный рокот, любовный морок-бормот плыл по сумеречной прохладе мастерской...

— Где ты научилась?! — спросил он, когда она опустила обе ладони на тамбурин, словно успокаивая разгоряченного коня...

— Митья, ты имеешь мастер-тарабуку! — сказала она, подняв палец и важно улыбаясь.

(Позже обмолвилась, что игре на этом инструменте обучил ее дядя, младший брат отца, тот, что в юности, в Багдаде, несколько лет сопровождал игрой на тамбурине выступления самой непревзойденной Надьи — знаменитой танцовщицы, на чей танец живота съезжались любоваться богатеи "со всего Бовеля").

...Крики чаек в порту долетали до окон мастерской. И часто им вторила дробь и синкопические гулкие удары.

Бывало, она пальцами и ладонями выколачивала на Митиной спине сложные ритмы, изображая губами и горлом звуки тамбурина. Это было щекотно и смешно.

Никогда и ни с кем до того он так заразительно и много не хохотал в постели.

— Смешно?— спрашивала она после каждого взрыва хохота. — Правда, смешно?

И он отвечал :

— Обхохочешься...

Они виделись чуть ли не каждый день, но ночевать она не оставалась. Строгий устав ее большого семейства, скорее, все-таки, восточного, соблюдался всеми детьми. Особенно приглядывал за порядком старший брат.

— Я рассказала про тебя Аврааму, — сказала она как-то. — Он был бы рад познакомиться с тобой...

Вот, хочет все испортить, подумал Митя с досадой, видали мы этих старших братьев-сватов, а вслух проговорил.

— ...как-нибудь, при случае...

— Митья? А что бы ты делал, если б я исчезла?

Он обнял ее, улыбнулся...

— Стал бы тебя звать.

— Как? — удивилась она.

— А вот так: — и он несколько раз ударил ладонью по тамбурину...

Помнится, тогда она пропала на неделю, и он не искал ее. Знал, что придет сама. И она пришла, как ни в чем не бывало, со своей клоунской гримаской в уголках растянутого рта. Сказала, что уезжала в Мадрид с Моти Глюком, помогать ему монтировать выставку в Музее современного искусства.

Митя почувствовал злое тянущее чувство в груди, — неужели ревную?— подумал, мысленно усмехнувшись. Но она в тот вечер особенно безумствовала, колотила по тамбурину, хохотала, хохотала...Смотрела на него серо-золотыми стрекозьими глазами:

— Митья, для тебя исполняет Мастер-тарабука! — и щекотно выстукивала на его спине сложнейшие ритмы:

— Смешно? Правда, смешно?

— Обхохочешься...

Месяца через три чудом, — а вернее, немыслимыми усилиями и челночной дипломатией двух его покровителей, — он заполучил годовой грант от Союза художников на поездку во Флоренцию.

Это было захлестнувшим его счастьем:Италия, музеи, картины великих мастеров и возможность писать, не задумываясь о куске хлеба...Последние недели перед отъездом он был так возбужден, так озабочен приготовлениями в дорогу, так боялся всего, что могло бы помешать сбывающейся мечте...С Мастер-тарабукой они почти не виделись... Встретились только перед самым отъездом, мельком...Он был рассеян, весел, небрежен...Хоть убей, даже не помнил — как расставались.

И уехал.

Италия смыла с него всю прошлую жизнь, все любови и дружбы, поглотила, провернула его, словно в мясорубке. Год пролетел — не ухватишься, но ему удалось зацепиться в одной дизайнерской фирме и остаться в одном из городков под Флоренцией еще на год...За это время у него были три связи — две пустяшные, одна задевшая настолько, что несколько раз всерьез задумывался — не жениться ли? Однако, Бог миловал, и два года спустя после отъезда он вернулся в Яффо...

Не сразу вспомнил о Мастер-тарабуке, и не сразу стал ее искать. Просто поначалу чего-то недоставало в морском воздухе этой местности — крикам чаек в порту не вторили гулкие удары тамбурина. Однажды, сидя в компании художников в портовом ресторанчике (здешние арабы подавали к жареной форели какой-то особенный кисловато терпкий соус), он обознался, приняв за нее какую-то девушку, входящую в двери, и по внезапному болезненному толчку в груди понял, что немедленно хочет увидеть ее, услышать ее смех, заглянуть в серо-золотые глаза стрекозы...

Он стал спрашивать о ней, разыскивать повсюду. Наконец, кто-то сказал, что она уехала в Швейцарию, живет в Цюрихе, замужем...

Конечно, он не стал горевать — какая чепуха, в самом деле!...Да и странно было бы ожидать, что она здесь тоскует по нему в одиночестве...Она забавно смеялась, это правда... "Митья, ты имеешь мастер-тарабуку!"...Дай Бог ей счастья...

Прошел еще год, он забыл о ней. Вернее, вспоминал только по праздникам, когда мальчишки выносили на улицы тамбурины и неумело били в них, стараясь "переколотить" один другого. Вот тогда некоторое сжатие...да нет, легчайший сквознячок нежно так пролетал по сердцу...нет, не мог он этого объяснить!...

Однажды сидел в мастерской у друга-скульптора.

Вдруг открылась дверь и вошла она — просто и буднично: в том же мотоциклетном шлеме, та же клоунская длинная улыбка, те же серо-золотые глаза. Он ахнул, оцепенел, вскочил ей навстречу, они крепко обнялись, поглядели друг на друга, расхохотались...Она совсем не изменилась. Да что ж ты — так и ездишь по всему миру на своем мотороллере? — смеясь, спросил он. — Нет, конечно, одолжила у брата на месяц, пока тут кручусь...

Вместе вышли на улицу. Ему нужно было ехать куда-то по делам, — неважно, он уже забыл обо всем. Сейчас важно было только то, что она вернулась.

И уже невозможно внятно объяснить самому себе — почему, почему он уехал без нее, почему жил без нее эти годы, и как же теперь загладить свою вину, как не отпустить ее, вот так прижать к себе, и уже не отпускать от себя ни на минуту!)

Она села к нему в машину "на минутку" и, заехав на задворки какого-то здания, он остановился, повернулся к ней, они подались друг к другу, затянув долгий нежный поцелуй стосковавшимися губами.

Наконец, она оторвалась и, уперев ладони в его грудь, долго пристально всматривалась в его лицо своими веселыми стрекозьими глазами.

Потом проговорила:

— Митья, у меня эйдс.

Он взмок мгновенно и обильно, словно его окатили фонтанные струи. Волна жара поднялась из желудка, руки и лицо покрылись гусиной кожей.

Первым желанием было — бежать, не оглядываясь, бросив ее вместе с машиной тут же, на задворках старого Яффо.

Страшным усилием воли он пригвоздил себя к сидению и даже не откинулся назад, не отодвинулся, не отвернулся.

Она стала рассказывать, горько улыбаясь, как отвернулись, отгородились от нее родные, как презирает ее старший брат, Авраам...Говорила просто, буднично, снимая легкой ладонью слезы, катящиеся по щекам...

— Вот куплю колокольчик на блошинном рынке, повешу на шею, буду ходить...

— Зачем — колокольчик? — машинально спросил он, почти не слыша, судорожно вспоминая, что с утра был у зубного врача и там, должно быть, ранка еще не затянулась...

— Колокольчик на шею и балахон с капюшоном на лицо...— повторила она. — Так прежде бродили по свету прокаженные...

— Ты не бойся, — сказала она, глядя на него прямо, — поцелуй не заразен. Ты же знаешь, заражаются через кровь или...

— Или,— слабо улыбнувшись повторил он. И опять вспомнил, что с утра был у зубного врача ...

— Я уверена, что ты чист...Все это случилось уже после тебя... Ты уехал, Митья, и не звонил...Я звала тебя. Я каждый день играла на тарабуке — мне казалось, что я выманю тебя оттуда...Никогда я не играла так прекрасно...

— Это... твой муж? — проговорил он наконец.

— Нет, — сказала она легко...— я живу с один парнем, беднягой, которого заразила, не зная еще, что больна...

Он заставил себя еще посидеть с ней рядом, не в силах прикоснуться к ней и умирая от ужаса...Заставил себя вновь и вновь выслушивать ее жалобы на семью...

— Только ты один, — говорила она, плача и улыбаясь своим клоунским ртом, — Только ты один не изменился в лице, когда узнал...

Наконец он дождался, когда она выйдет из машины, невероятным напряжением лицевых мышц удерживая на лице улыбку, помахал ей рукой, и когда она исчезла за углом, открыл дверцу машины и собрав всю слюну во рту, сплюнул на грязный мазутный асфальт. Ему показалось, что в слюне кровь. Он вышел, присел на корточки и долго с колотящимся сердцем всматривался в крошечную пенную лужицу...

Так начался изнурительный кошмар этих двух недель, в продолжение которых он пытался заставить себя решиться на проверку и одновременно уговорить, что здоров и ни в какой проверке не нуждается.

Чтобы избежать контактов с женщинами, объявил двум постоянным подружкам, что уезжает на ближайшие дни в Германию, а сам часами сидел в запертой, с закрытыми железными ставнями, мастерской. Бродил при свете лампы от картины к картине, а когда останавливался перед большим острым обломком старинного зеркала, подобранного у антикварной лавки, долго и тупо разглядывал свое, исполосованное солнечными лезвиями сквозь ставни, лицо. Часто взгляд его падал на тамбурин, запыленный с тех пор, как она играла на нем, тогда подходил и вяло шлепал ладонью по туго натянутой коже.

Он перестал спать и почти ничего не ел... Стал подсчитывать — сколько проживет еще, если заразился. И как быть — тянуть ли резину мгновенно осевшей жизни или уйти сразу, не успев стать парией и проклятьем для друзей и женщин. И как и у кого — не вызывая подозрений — узнать, насколько быстро проявятся признаки болезни?

Он резко похудел, и в один из этих тягостных тупых вечеров у него вдруг начался приступ астмы — первый приступ болезни, которая потом будет мучать его всю жизнь.

Начался этот приступ неожиданно — от взгляда все на тот же, покрытый пылью, тамбурин. Ему показалось, что пыль мешает ему дышать, забивается в горло и ноздри, оседает на легких, пробкой стоит в бронхах. Прокашлялся, пытаясь избавиться от незнакомого ощущения; но пыль преследовала его — она уже носилась по мастерской, шевелилась на полках, облачками поднималась при каждом шаге, при каждом движении.

Он закашлялся, снова и снова пытаясь прочистить горло, все чаще и чаще дыша, сипя, отплевывая слюну, пытаясь вдохнуть, протолкнуть воздух внутрь сквозь игольное ушко в горле...

Наконец, схватил проклятый тамбурин и, кулаком толкнув ставни, со всей силы выкинул его наружу. Тот ударился о камни забора напротив и покатился вниз по крутизне узкой улочки, запрыгал по ступеням, нагнал какого-то, испуганно отпрянувшего, туриста, покатился дальше...

Морской воздух криками чаек влился в мастерскую, влажно зашевелился в занавеске на двери, раскачал плетенный колпак на лампе под высоким потолком...

Наутро Митя уже сидел в коридоре отдельного флигеля во дворе клиники, дожидаясь своей очереди — на анализ крови.

И спустя несколько адовых дней, перемежающихся приступами удушья, которые он считал первыми признаками заражения и все-таки надеялся на что-то немыслимое, неизреченное, лишь ночами выдыхаемое им словом "..о-о-осподи!!" — (самыми страшными были ночи и мысли о необходимости и неотвратимости самоубийства), — он опять сидел в чертовом флигеле и ждал своей очереди. Его колотил озноб.

Всех, сидящих в очереди, вызывали попеременно в два кабинета. И судя по тому, что из одной двери люди выходили с обморочно счастливыми лицами, а из другой — как слепые и оглушенные рыбы, чуть ли не руками нащупывая дорогу к выходу, он понял, что в этих разных комнатах дают разные ответы.

Последние несколько минут, когда он ждал — в какую комнату его позовут, он никогда не забудет. Они станут мучить его в снах — эти две двери, открывающиеся попеременно. И его будут

звать то в одну, то в другую, из них будут тянуться к нему страшные руки и тащить в разные стороны, и рвать на части...

... Наконец, из "хорошей" комнаты выглянула сестра и назвала его фамилию.

Он остался сидеть. Чайки кричали в ушах, монотонно гудел тамбурин.

Она снова назвала его фамилию и спросила — что, нет такого?

Тогда он поднял руку, вяло улыбаясь...

За все это время она не позвонила ни разу. Сначала он боялся, что не сможет скрыть ужаса и ненависти, если она предложит встретиться.

Потом оценил ее деликатность.

Потом подумал, что она уже уехала и — ощутил странную смесь облегчения и досады: как же так, не попрощаться, даже по телефону?! Не могут же они после всего вот так расстаться, не сказав друг другу последнего слова?

Наконец, раздался звонок.

— Митья, — услышал он ее забавный, с этими восточными низкими обертонами, такой милый, такой смешной, безопасный голос...— Я уезжаю...

— Когда?! — вскрикнул он. Сердце его вдруг забилось, как бывает при неожиданной и тяжкой вести. Вдруг, в одно мгновение он понял — чем она была в его жизни.

— Я звоню из аэропорта...Уже сдала чемодан, сейчас допью кофе и поднимусь в зал ожидания...

— Как же ты могла...

— Дорогой мой, молчи!...не надо этих слов. Ничего уже не надо. Я — сколько проживу — буду благодарна тебе за твое лицо тогда...Я ведь следила, внимательно следила... Все-таки, я не зря всю жизнь люблю тебя, Митья...

Он заметался по мастерской... Остановился перед полкой, на которой столько лет пылился ее тамбурин. Он видел ее серо-золотые плачущие глаза, ее клоунскую гримаску в углах рта...

— Гад! — сказал он своему отражению. — У, гадина!

Сбежал вниз, сел в машину и выжимая предельную скорость, — как когда-то она на своем мотоцикле, — помчался в аэропорт...

...Она уже прошла за барьер.

— Мастер-тарабука!!

Она оглянулась, всплеснула руками, засмеялась, засмеялась... Что-то сказала, затеребила какую-то блестящую штуку на шее.

— Я ни черта не слышу!! — крикнул он, боясь расплакаться. Они стояли у барьера, кричали через головы пассажиров, проходящих контроль.

— ...колокольчик..! Правда смешно?!

— если...все-таки..позвони мне!

— ..когда-нибудь...если буду...

Голоса их долетали сквозь гул толпы как замирающие звуки тамбурина.

Удар, хлопок, торопливая россыпь, остывающий звук.

Удаляющийся звон колокольчика...

Смешно...

Правда, смешно?

Обхохочешься...

Терновник

Мальчик любил мать. И она любила его страстно. Но ничего толкового из этой любви не получалось.

Впрочем, с матерью вообще было трудно, и мальчик уже притерпелся к выбоинам и ухабам ее характера. Ею правило настроение, поэтому раз пять на день менялась генеральная линия их жизни.

Менялось все, даже название вещей. Например, мать иногда называла квартиру "квартирой", а иногда звучно и возвышенно — "кооператив!".

"Кооператив" — это ему нравилось, это звучало красиво и спортивно, как "авангард" и "рекорд", жаль только, что обычно такое случалось, когда мать заводилась.

— Зачем ты на обоях рисуешь?! Ты с ума сошел? — кричала она неестественно страдальческим голосом. — Ну скажи: ты человек?! Ты не человек! Я хрячу на этот проклятый кооператив, как последний ишак, сижу ночами над этой долбаной левой работой!!

Когда мать накалялась, она становилась неуправляемой, и лучше было молчать и слушать нечленораздельные выкрики. А еще лучше было смотреть прямо в ее гневные глаза и вовремя состроить на физиономии такое же страдальческое выражение.

Мальчик был очень похож на мать. Она натыкалась на это страдальческое выражение, как натыкаются впотьмах на зеркало, и сразу сникала. Скажет только обессиленно: "Станешь ты когда-нибудь человеком, а?" И все в порядке, можно жить дальше.

С матерью было сложно, но интересно. Когда у нее случалось хорошее настроение, они много чего придумывали и о многом болтали. Вообще в голове у матери водилось столько всего потрясающе интересного, что мальчик готов был слушать ее бесконечно.

— Марина, что тебе сегодня снилось? — спрашивал он, едва открыв глаза.

— А ты молока выпьешь?

— Ну выпью, только без пенки.

— Без пенки — короткий сон будет, — торговалась она.

— Ладно, давай с этой дрянской пенкой. Ну, рассказывай.

— А про что мне снилось: про пиратские сокровища или как эскимосы на льдине мамонтенка нашли?

— Про сокровища... — выбирал он.

...В те редкие минуты, когда мать бывала веселой, он любил ее до слез. Тогда она не выкрикивала непонятных слов, а вела себя как нормальная девчонка из их группы.

— Давай беситься! — в упоительном восторге предлагал он.

Мать в ответ делала свирепую морду, надвигалась на него с растопыренными пальцами, утробно рыча:

— Га-га! Сейчас я буду жмать этого человека!! — Он замирал на миг в сладком ужасе, взвизгивал... И тогда летели по комнате подушки, переворачивались стулья, мать гонялась за ним с ужасными воплями, и в конце концов они валились на тахту, обессиленные от хохота, и он корчился от ее щипков, тычков, щекотания.

Потом она говорила своим голосом:

— Ну, все... Давай наведем порядок. Смотри, не квартира, а черт знает что...

— Давай еще немножко меня пожмаем! — просил он на всякий случай, хотя понимал, что веселью конец, пропало у матери настроение беситься. Вздыхал и начинал подбирать подушки, поднимать стулья.

Но чаще всего они ругались. Предлогов было — вагон и тележка, выбирай, какой нравится. А уж когда у обоих плохое настроение, тогда особый скандал. Хватала ремень, хлестала по чему попадала — не больно, рука у нее была легкая, — но он орал как резаный. От злости. Ссорились нешуточно: он закрывался в туалете и время от времени выкрикивал оттуда:

— Уйду!! К черту от тебя!

— Давай, давай! — кричала она ему из кухни. — Иди!

— Тебе на меня наплювать! Я найду себе другую женщину!

— Давай ищи... Чего ж ты в туалете заперся?.. ...Вот что стояло между ними, как стена, что портило, корежило, отравляло ему жизнь, что отнимало у него мать, — Левая Работа.

Непонятно, откуда она бралась, эта Левая Работа, она подстерегала их, как бандит, из-за угла. Она наскакивала на их жизнь, как одноглазый пират с кривым ножом, и сразу все подчиняла себе. Кромсала этим ножом все планы: зоопарк в воскресенье, чтение "Тома Сойера" по вечерам — все, все гибло, летело к чертям, разбивалось о проклятую Левую Работу. Можно сказать, она была третьим членом их семьи, самым главным, потому что от нее зависело все: поедут ли они в июле на море, купят ли матери пальто на зиму, внесут ли вовремя взнос за квартиру. Мальчик ненавидел Левую Работу и мучительно ревновал к ней мать.

— Ну почему, почему она — Левая? — спрашивал он с ненавистью.

— Вот балда. Потому что правую я делаю весь день на работе, в редакции. Правлю чужие рукописи. Мне за это зарплату платят. А вот сегодня я накатаю рецензию в один журнал, мне за нее отвалят тридцать рублей, и мы купим тебе сапоги и меховую шапку. Зима же скоро...

В такие дни мать до ночи сидела на кухне, стучала на машинке, и бесполезно было пытаться обратить на себя ее внимание — взгляд отсутствующий, глаза воспаленные, и вся она взвинченная и чужая. Молча подогревала ему ужин, говорила отрывистыми командами, раздражалась из-за пустяков.

— Живо! Раздеться, в постель, чтоб тебя не видно и не слышно! У меня срочная левая работа!

— Чтоб она сдохла... — бормотал мальчик. Он медленно раздевался, забирался под одеяло и смотрел в окно.

За окном стояло старое дерево; Дерево называлось терновник. На нем колючки росли, здоровенные, острые. Пацаны такими колючками по голубям из рогатки стреляют. Мать однажды встала у окна, прижалась лбом к стеклу и сказала мальчику:

— Вот дерево терновник. Очень древнее дерево. Колючки видишь? Это тернии. Из таких колючек люди однажды сплели терновый венок и надели на голову одному человеку...

— За что? — испугался он.

— А непонятно... До сих пор непонятно...

— Больно было? — сочувствуя неизвестной жертве, спросил он.

— Больно, — согласилась она просто.

— Он плакал?

— Нет.

— А-а, — догадался мальчик. — Он был советский партизан...

Мать молча смотрела в окно на старый терновник.

— А как его звали? — спросил он. Она вздохнула и сказала отчетливо:

— Иисус Христос...

Терновник тянул к самой решетке окна свою скрюченную руку с корявыми пальцами, как тот нищий у магазина, которому они с матерью всегда дают гривенник. Если присмотреться, можно различить в сплетении веток большую корявую букву "Я", она как будто шагает по перекладине решетки.

Мальчик лежал, глядел на букву "Я" и придумывал для нее разные путидороги. Правда, у него не получалось так интересно, как у матери. Машинка на кухне то тараторила бойко, то замирала на несколько минут. Тогда он вставал и выходил на кухню. Мать сидела над машинкой ссутулясь, пристально глядя в заправленный лист. Прядь волос свисала на лоб.

— Ну? — коротко спрашивала она, не глядя на мальчика.

— Я пить хочу.

— Пей и марш в постель!

— А ты скоро ляжешь?

— Нет. Я занята...

— А почему он деньги просит?

— Кто?! — вскрикивала она раздраженно.

— Нищий возле магазина.

— Иди спать! Мне некогда. Потом.

— Разве он не может заработать?

— Ты отстанешь от меня сегодня?! — кричала мать измученным голосом. — Мне завтра передачу на радио сдавать! Марш в постель!

Мальчик молча уходил, ложился. Но проходила минута, две, и стул на кухне с грохотом отодвигался в комнату вбегала мать и отрывисто, нервно бросала.

— Не может заработать! Понимаешь?! Бывает так. Сил нет у человека. Нет сил ни заработать, ни жить на свете. Может, горе было большое, война, может, еще что... Спился! Сломался... Нет сил...

— А у тебя есть силы? — обеспокоенно спрашивал он.

— Здрасьте, сравнил! — возмущалась она и убегала на кухню — стучать-выстукивать проклятую Левую Работу.

У матери силы были, очень много было сил. И вообще мальчик считал, что они живут богато. Сначала, когда ушли от отца, они жили у материной подруги тети Тамары. Там было хорошо, но

мать однажды поругалась с дядей Сережей из-за какого-то Сталина. Мальчик думал сначала, что Сталин — это Маринин знакомый, который ей здорово насолил. Но оказалось — нет, она его в глаза не видела. Тогда зачем из-за незнакомого человека ссориться с друзьями! Мать как-то и ему принялась рассказывать про Сталина, но он пропустил мимо ушей — скучная оказалась история.

...Так вот, мать подумала, решилась, и они "влезли в кооператив".

Мальчик придумывал грандиозное зрелище: вот он ждет их на взлетной полосе, сверкающий, узкий и легкий как птица — кооператив! Вот они с матерью — в комбинезонах, со шлемами в руках — шагают к нему через поле. И вот уже люк откинут, они машут толпе внизу, застегивают шлемы и, наконец, влезают в новейшей модели сверхзвуковой кооператив!

На самом деле все происходило не так. Мать продала много чего ненужного — желтенькую цепочку, которую прежде даже на ночь не снимала с шеи, серьги из ушей с блестящими стеклышками, кольцо. Потом стояла у окна на кухне и плакала весь вечер, потому что и цепочка, и серьги, и кольцо были бабушкиными и остались от нее на память. Мальчик крутился возле матери, ему передалось ее тоскливое ощущение потери, и было жалко мать, которая так горько плачет из-за пустяковых вещиц, и он решительно не понимал, что происходит.

Но скоро они переехали в новую квартиру, и мать повеселела. Квартира оказалась роскошной: комната, кухня и туалет с душем. Был еще маленький коридорчик, в котором они в первый же день повесили подаренное тетей Тамарой зеркало. Комната пустая, веселая — вози грузовик в какую хочешь сторону, от стенки до стенки, и не скучай. Первое время они спали вдвоем на раскладушке. Обнимались тесно, становилось тепло, и мать перед сном рассказывала длинную историю, каждый вечер новую. И как только они умещались в ее голове!

А однажды он пришел из детского сада и увидел в комнате новую красную тахту. Мать засмеялась, потащила его, повалила на тахту и стала тискать и щипать.

— Ну как? — спросила она гордо. — Шикарно? — И подпрыгнула на упругой тахте.

— Шикарно, — согласился он и тоже попрыгал немного.

— Человеку в твоем возрасте вредно спать на раскладушке, — пояснила мать, — будешь сутулым, как старый старикашка... У меня это прямо из головы всю неделю не выходило. А сегодня утром,

как отвела тебя в сад, думаю — да черт возьми! Руки есть, башка варит, что я — не отработаю? Пошла и заняла деньги у тети Тамары...

— Левую Работу возьмешь? — расстроился он.

— Ага, — беспечно сказала мать и опять стала прыгать на тахте и тискать мальчика... Часто в гости забегала тетя Тамара. К ней на работу постоянная спекулянтка приносила всякие вещи — 'то джемпер японский, то финское платье. И тетя Тамара забегала на минутку — приносила "померить". Она очень переживала, что мать "все с себя сняла" и "совершенно не одета". Ну это, конечно, была ерунда. Интересно, как бы мать ходила на работу, если бы была совершенно не одета. Она носила черный свитер, который очень нравился мальчику, и серые от стирки джинсы. Просто она привязалась душой к этим любимым вещам, ей не нравились другие. А недавно тетя Тамара принесла серьги, ведь мать продала свои и та волновалась, что дырочки в ушах зарастут и будет "все кончено". Серьги оказались красивыми, с нежно-зелеными камушками. Мать усмехнулась, надела их, и сразу стало видно, какая она хорошенькая, — глаза такие же, как серьги, зеленые и длинные.

— Вот и покупай! — решительно сказала тетя Тамара. — Очень тебе идут. Просто чудо как красиво.

— Ой, Марина! — ахнул мальчик. — Какие красивые!

— Красивые! — согласилась мать, снимая серьги. — На той неделе взнос за кооператив... Тетя Тамара бодрая и решительная. Она очень помогает жить матери и мальчику — вселяет уверенность в то, что все будет прекрасно.

— Личная жизнь не удалась — подумаешь! — говорит она. — Те, у кого она удалась, ходят в стоптанных туфлях и с высунутыми языками...

Отца он тоже любил, но боялся, что мать заметит это. И вообще, когда заходил разговор об отце, он помалкивал, зная взрывной материн характер. С отцом-то было легко, спокойно. Отец никогда не орал, и всегда можно было предположить, как он отнесется к тому или другому происшествию. Отец был во всем другой...

Наверное, он сильно удивился бы, узнав, что мальчик наблюдает за ним и сопоставляет его мир с тем миром, где существовали они с матерью.

Отец забирал его в субботу днем и приводил к себе домой, в ту квартиру, где прежде жили они втроем и где осталось все, что раньше было общим. Остался и трехколесный велосипед мальчика, и санки, и самокат. Довольно долго он размышлял, отчего отец не отдал даже его велосипеда. Но спросить не решался. Вернее, просто знал, что ответит отец. Тот бы улыбнулся, и поцеловал его, и сказал:

— Просто я хотел, чтобы твои игрушки были здесь, чтоб ты знал — здесь твой дом... Как-то он уже говорил что-то подобное. Нет, дом был там, где была мать. Это мальчик чувствовал очень остро. Даже когда не существовало вообще никакого дома и они ютились у тети Тамары дядей Сережей, его дом был там, где находилась „я — ее голос, ее запах, ее черный свитер, ее жестикуляция и выкрики.

Даже себе он не признавался в том, что любит бывать у отца отчасти из-за подарков. Отец дарил подарки веселые, интересные и этим выгодно отличался от матери. То пистолет подарит с целой обоймой оглушительных патронов, то железный танк с вращающимся стволом орудия. И делал это без шума, со снисходительной улыбкой, и никогда не устраивал тарарама, если вдруг через час орудие танка отваливалось или пистолет переставал почему-то действовать.

Да, отец дарил веселые подарки... Мать — скучные. Сапоги какие-нибудь на зиму, или куртку с капюшоном, или костюм. И сама ужасно радовалась этим подаркам, заставляла его надевать их, ходить перед ней по комнате и сто раз поворачиваться. Мальчику это надоедало. Он скучал, недоумевал, спрашивал:

— Ну все, что ли?

— Ну походи еще! — сияя счастливыми глазами, командовала мать. — Пройди медленно вон туда, к шкафу, и повернись ко мне. Так. Теперь спиной...

Он томился в теплой зимней куртке, но послушно топтался, как она требовала, — от шкафа к тахте и обратно.

В такие минуты он почему-то очень жалел ее...

И не дай бог было замазать куртку грязью или оторвать случайно какую-то несчастную пуговицу! Что тут начиналось!

— Ты человек?! — кричала она страдальческим голосом. — Нет, скажи — ты человек? Нет, ты не человек! Потому что тебе все равно — сплю я ночами или сижу над левой работой, куртку тебе зарабатываю!

Охота воспитывать его настигала мать в самые неподходящие моменты. Например, на днях, когда взрослые ребята — среди них был даже Борька из второго класса — впервые приняли его в игру, и он решил на Радостях угостить всех конфетами. Он прибежал со двора и постучал в дверь ногами, торжествующий и переполненный царственной щедростью. Мать открыла дверь с мыльными руками, наверное стирала.

— Марина, дай нам всем конфет! — потребовал он шумно дыша.

— Посмотри, на кого ты похож! — крикнула она с выражением муки на лице. Бровь ее изогнулась. — Только что вышел! Посмотри на свою рубашку! Сколько я могу стирать?! Ты человек? Ты не человек! Нет больше моих сил, понимаешь? Нет больше моих сил ты понимаешь или нет?!

— Понимаю, понимаю, — торопливо проговорил он точно так же изогнув страдальчески бровь, — дай нам конфеты!..

... Да, отец обладал существенным достоинством — он никогда не орал...

Мальчику была непонятна эта материнская страсть к добыванию вещей, тем более непонятна, что мать он считал натурой щедрой и в этом отношении — даже безумной.

Однажды она привела в дом двоих детей. Было воскресное дождливое утро, мать рано ушла в магазин, а мальчик еще лежал в постели и сквозь дымку утреннего сна слушал, как дождь остервенело лупит по подоконнику. Левое ухо, прижатое к подушке, ничего не слышало, поэтому всю бестолковую грызню дождя с подоконником выслушивало правое ухо. Оно утомилось. Мальчик сполз вниз, под одеяло, и прикрыл правое ухо ладонью. Тарахтенье дождя по подоконнику превратилось в сонное бормотанье, наступила блаженная тишина. И в этой тишине мальчик услышал, как открыли входную дверь и мать отрывисто проговорила:

— Входите, входите!

Мальчик откинул одеяло и быстро сел в постели. Дождь грянул оглушительную свою песню.

— Какой сильный дождь! — сказала мать в прихожей. — Зайдите в комнату, дети.

И тут мальчик увидел их обоих. Они были неправдоподобно мокрыми, как будто кто нарочно долго вымачивал их в бочке с водой. Старший, мальчик, одного с ним возраста — лет шести-семи, а девочка совсем малышка — ей едва ли исполнилось три года. Она таращила по сторонам черные, как у галчонка, глаза и слизывала с губ капли дождя, бегущие по лицу с налипших на лоб спутанных кудрей. У обоих прямо на босые ноги были надеты калоши.

Мальчик сидел на постели в теплой пижаме и молча смотрел на незнакомцев.

— Драстытэ, — робко выдавил старший из них. Мать наткнулась на недоумевающий взгляд мальчика и скороговоркой объяснила:

— Это дети молочницы... Она молоко по квартирам разносит... а они... вот... под дождем... Бидоны стерегут, дурачки... Как мокрые галки... Раздетые, разутые... Кому нужны эти бидоны, черт бы ее побрал!

— Раздевайтесь! — скомандовала она и распахнула дверцы шкафа. Она хватала с полок одежду мальчика и бросала на тахту — колготки, рубашки, свитер. Потом помедлила и сняла с вешалки его прошлогоднюю дождевую куртку.

— Вот, — сказала она. Принесла из ванной полотенце и стала растирать им девочку. Та стояла безучастно, как болванчик, продолжая слизывать с губ капли, катящиеся по лицу. Ноги и руки у нее были красные, жесткие, в цыпках.

— Драстытэ... — еще раз еле слышно проговорил ее брат, очевидно, это было единственное русское слово, которое он знал.

В разгар сцены переодевания явилась баба Шура, соседка. В отличие от мальчика, она сразу сообразила, что происходит, и с минуту стояла, молча наблюдая, как мать натягивает колготки на влажные еще ноги девочки. Баба Шура не была здесь посторонней, она любила и мальчика и его мать, болела за них душой, во многом помогала и во все вмешивалась. Насчет свитера она

промолчала, но когда мать стала завязывать в узел совсем еще приличные вещи мальчика, в том числе куртку, баба Шура не выдержала.

— Ты что это вытворяешь, а?! — сурово спросила она. — Ты своего голымбосым хочешь оставить?

— На своего заработаю! — огрызнулась мать.

— Дура! Эта молочница тыщами ворочает! Что ты смотришь на ихние галоши, они в своей махалле всю зиму босиком бегают, они так привыкли.

— Ладно, баба Шура! — отрывисто сказала мать. — Какие там тыщи, господи!

— Ты сколько ишачишь на эти шмотки, а? Мало? Всю ночь машинка долдонит за стеной. Мало?! Ну да. вай, давай, сними с ребенка последнее.

— Все, баба Шура! — спокойно отрезала мать.

— Давай, давай, бешеная... Невменяемая! — Баба Шура повернулась и ушла к себе — беречь нервы. А мать негромко сказала сыну:

— Если тебе не жалко, подари им какую-нибудь свою игрушку.

Мальчику было жалко, но он понимал, что это один из тех случаев, когда он не сможет ослушаться. Иначе между ними произойдет что-то ужасное, непоправимое. 3 такие минуты он особенно остро чувствовал ее волю чувствовал: она магнит, он — крупинка.

Он прошлепал в кухню, волоком притащил оттуда картонный ящик с игрушками и сказал, ни на кого не глядя:

— Вот... берите что хотите...

Но мать и тут не пощадила его:

— Выбери сам. Что-нибудь поинтересней. Вон тот автомобиль!

Это было сознательным насилием, он чувствовал это, чувствовал сердцем, напрягшимся затылком, руками, упрямо не желающими расставаться с любимой игрушкой. Автомобиль был подарен отцом совсем недавно, мальчик не успел еще до конца насладиться его зеленой лакировкой, упругими шинами, мигающими фарами. Автомобиль ездил вперед и назад, он поворачивал в любую сторону, стоило только кнопку нажать на пульте управления. Что это был за автомобиль!

— Ну, — сказала мать.

Он молча сунул автомобиль чужому мальчишке. Тот покорно прижал его к груди обеими руками и опять прошептал:

— Драстытэ...

— Не "здравствуйте", а "спасибо"! — тихо и враждебно поправил мальчик. Его душили обида, ревность, злость, не хватало еще разреветься при этих истуканах!

Когда мать вышла проводить детей, он юркнул под одеяло и тихо заплакал. Не было во всем мире ни одной родной души, а были кругом только насилие и равнодушие. Она там внизу, должно быть, обнимает этих чужих детей, которые толком и спасибо-то сказать не могут, она заботилась о них, а родной сын ей — тьфу — пусть лежит одинокий где-то там, неизвестно где.

Мать вошла в комнату, прилегла рядом и сказала, поглаживая его вздрагивающий затылок:

— Сегодня же купим точно такой автомобиль...

Тогда он затрясся в рыданиях, сладкая, исступленная жалость к себе — обездоленному, одинокому — сжала горло, и он едва смог выговорить, икая:

— Такого... уже... не будет...

— Будет, — спокойно сказала мать. — Мы купим все автомобили в магазине, но ты у меня вырастешь человеком. А если не человеком, то я убью тебя собственными руками!

И они обнялись и лежали так долго-долго, пока оба случайно не уснули и проспали до двенадцати часов...

Недели уже три он ходил в школу, в первый класс. Этой перемены в жизни они с матерью побаивались, а оказалось — ничего, жить можно. Еще в начале июня сделали глубокий рейд по магазинам, накупили всякой всячины — ранец, форму, рубашки к ней голубые, три штуки, да еще шуры-муры: тетради, пенал, линейки, счетные палочки — словом, целое хозяйство. Мать прямо в магазине помогла ему надеть ранец, и он ехал так домой через весь город. Три раза место в автобусе уступал, кому — не помнил. Школьники всегда уступают.

А когда по лестнице домой поднимались, баба Шура дверь открыла и встала как вкопанная, сделала такое дурацкое остолбенелое лицо, как будто генерал в подъезд вошел.

— Ой, что это за ученик?! — закричала она.

— Это я — ученик! — сияя от счастья, сказал он. Тогда баба Шура притянула его к себе за щеки и звучно поцеловала — сначала в одну, потом в другую, потом опять в одну. Как будто он издалека приехал.

Первые дни в школе он чувствовал себя очень одиноким. Все дети сразу освоились и знали всё — где буфет, где актовый зал, где туалет. А он как-то ничего не знал, а спрашивать у других не умел и в первый день даже чуть не описался, хорошо, что мать рано пришла, он ей шепнул жалобно про свою беду, и они выскочили из школы как угорелые и приткнулись за углом, где были частные гаражи.

В буфете надо было толкаться. Он попробовал один раз, но неудачно: его толкнули, монета вылетела из рук, какой-то громила из третьего класса быстро наклонился за ней и громко сказал: "Ура! Нашел двадцать коп!" Мальчик промолчал, отошел и всю перемену проплакал.

После уроков начиналась "продленка" — он ходил в группу продленного дня. Учительница вела их строем в столовую, потом строем в спальню, потом строем в актовый зал, где они ходили по кругу в затылочек, под музыку Шаинского. Это называлось — "Ритмика". Музруководительница стояла в центре круга и выкрикивала:

— Левой три притопа! Правой три притопа! Левой: раз-два-три! Правой: раз-два-три! Из крута не выходить!

Голубой вагон бежит — ка-ча-ет-ся!

Скорый поезд набирает ход... -

пел Крокодил Гена мягким интеллигентным голосом.

Ах, зачем же этот день кон-ча-ет-ся!

Пусть бы он тянулся целый год!

Нет, мальчику не хотелось, чтобы этот день тянулся целый год. Ему хотелось, чтобы скорее пришла мать. Он послушно притоптывал правой и притоптывал левой и все время, вытягивая шею, смотрел на дверь актового зала.

Когда наконец в дверях появлялась мать, в животе у него делалось горячо, а в глазах — цветно, жизнь всплескивалась, как золотая рыбка из пучины морской. Он продолжал топтаться под музыку, но уже совсем по-другому, потому что видел конец всему этому и хорохорился перед матерью — вот, мол, как он танцует вместе со всеми и не хуже всех. Мать только сдержанно кивала ему. Она на людях не любила изображать телячьи нежности.

И учительница попалась хорошая — Татьяна Владимировна, — молодая и ласковая, ее все сразу полюбили, девчонки лезли к ней под руки и ссорились, кто пойдет сегодня с правой стороны, кто с левой.

Мальчику учительница нравилась тоже, хотя и представлялась однозначной, как цифра 5, такой ровной и плоской, как монета. Вот мать была объемной: и круглой и с углами, и шершавой и гладкой, и тихой и громкой — в матери столько всего было понаверчено!

...Учился он, как ему казалось, хуже всех. Не клеилось у него с этими палочками в тетради, с этими кружочками и крючочками. Все шло вкривь и вкось. Мать в вопросе учебы держалась со свойственной ей непоследовательностью. Когда шли из школы и он жаловался ей на непослушные палочки и крючки, она говорила: "А, плюнь! Чепуха! Получится", — но вечером, когда садились делать уроки, он открывал злополучные "Прописи", она присаживалась помогать, постепенно входила в азарт и начинала орать, так что у него в ушах звенело:

— Стой!! Куда ты эту черточку повел!! Я сказала — левее! Не заводи ее за поля!! Куда ты к чертовой матери дел завиток у "в"? Ремень возьму!..

Вечера были бурными. Терпения у матери набиралось ровно на копейку. Он пережидал это проклятое время с мужеством стоика, потому что после приготовления уроков до сна оставалось еще два часа, и тогда стоило жить на свете.

Едва захлопывался осточертелый "Букварь", у мальчика и у матери лица становились одинаково устало-умиротворенными. Тяжкий ежедневный груз был доволочен до цели и с облегчением сброшен.

— Ты чего сейчас будешь делать? — спрашивал мальчик.

— Посуду мыть, борщ варить, — устало говорила мать.

— Ну ладно, я буду посуду вытирать, а ты мне что-нибудь расскажешь.

Мать надевала фартук неохотно и одновременно покорно, как подставляет шею под хомут лошадь.

— Ну, что тебе рассказать?

— Про бабу Шуру, — просил он.

— В третий раз? — не удивляясь, уточняла мать Она уважала его страсть — слушать по многу раз полюбившиеся истории, сама — перечитывала любим книги.

— Ну вот, значит, когда началась война... Подай-ка, пожалуйста, нож... — он бросался к столу, молча подавал ей нож, только бы она не отвлекалась больше... — Когда война началась, баба Шура с мужем жили на границе, в местечке Черная Весь, под Белостоком Муж был офицером, пограничником, в первый же день войны его и убили. И осталась баба Шура вдовой в двадцать один год, с двухлетней Валькой на руках.

— С тетей Валей, — шепотом объяснял себе мальчик.

-И прошла она беженкой через весь Западный фронт с нашей армией. Сколько раз их в пути бомбежка настигала! Однажды вот так налетели "мессеры" загнали их в придорожный лесок. А Валька, маленькая, оглохла от взрывов, перепугалась, вырвала ручонку и бежать... Баба Шура за ней. А солдат какой-то закричал на них матом, швырнул на землю, сам рядом повалился. А кругом так и громыхают снаряды, комья земли летят. Потом стихло маленько, видит баба Шура — солдат поднимается и руками за живот держится. А из живота у него внутренности вываливаются. Стоит он, смотрит на бабу Шуру безумными глазами и кишки руками поддерживает... А то еще однажды, после бомбежки, подозвал ее один солдат, просит перевязку сделать. Смотрит баба Шура — а у него вся спина рваная. А он совсем юный мальчик, красивый такой, интеллигентный, говорит: "Прошу вас, возьмите себя в руки и сделайте перевязку..." Баба Шура сняла комбинацию, порвала ее на полоски, сделала ему перевязку.

— Жив остался? — с надеждой спрашивал мальчик в который раз, и мать в который раз отвечала:

— Кто ж его знает... Отвезли в госпиталь, а там — неизвестно...

Про того, с вываливающимися кишками, мальчик спрашивать боялся, знал: плохой будет ответ...

— Столько беды навидалась, что сердце тяжелым стало, как камень. Думала — ничто теперь не удивит... Однажды ехали на грузовиках по дороге. Немцы только что отбомбились, улетели, на обочинах убитых беженцев видимо-невидимо, и хоронить некому.

И видит баба Шура: лежит в траве у дороги молодая тать, мертвая, а рядом с ней ребенок месяцев девяти-десяти. Нашел мамкину грудь, сосет, а молока нет, вот он и орет, будит мать. А она лежит себе и в небо смотрит.

Не выдержала баба Шура, спрыгнула с грузовика, схватила ребенка и назад, в машину...

— Это был дядя Виталий?

— Ну да, дядя Виталий... Ты же обещал посуду вытирать, а сам не вытираешь! Разве это справедливо?

Мальчик молча хватал полотенце, начинал судорожно вытирать чашку, только бы мать рассказывала дальше...

— А пробиралась баба Шура к родным мужа, свекру и свекрови. И когда наконец добралась — ободранная, голодная, с двумя детьми, — те ее в штыки встретили. Мол, неизвестно, с кем ты второго прижила, знать тебя не хотим, самим жрать нечего, а тут ты еще на нашу голову свалилась.

И осталась баба Шура одна в чужом городе — податься некуда, сама разутараздета, дети есть просят, кричат... Встала баба Шура на крутом берегу реки, вниз глянула, и сердце ее оборвалось: прижала детей к себе и думает: "Все равно с голоду помрем! Вот так глаза зажмурить и прыгнуть туда вместе с ними!" А маленький Виталька словно почуял что-то, уперся ей в грудь ручонками, захныкал: "Мама... не няня... не няня..."

— Не прыгнула? — широко открыв глаза, с надеждой спросил мальчик.

— Вот дурацкая башка, конечно, не прыгнула! Ты думай: разве сейчас были бы на свете Валя и Виталий? Разве привозил бы тебе Виталий всякие камни из экспедиций?

— Да, — соглашался он и для себя, чтобы окончательно успокоиться, повторял шепотом: — Не прыгнула, не прыгнула...

— Ну ничего, потом на завод устроилась, паек стала получать, чужие люди ее приютили... Тифом вот только заболела очень сильно. В больнице лежала... Все думали, что умрет. Когда кризис наступил, в бреду седа на постели, косы распустила — густейшие были косы черные — и запела сильным голосом песню, которую сроду не знала:

Отворите окно, отворите,

Мне недолго осталося жить!

Еще раз на свободу пустите,

Не мешайте страдать и любить...

Все металась в бреду, просила, чтобы косы не стригли, боялась, что в гробу будет некрасивая лежать... Куда там, все равно остригли... Потом они отросли, косы но уж не такие густые, как прежде...

Мать снимала фартук, насухо вытирала тряпкой кухонный стол и ставила на него пишущую машинку. Это значило, что мальчику теперь — спать, а ей — работать.

Он лежал под теплым стеганым одеялом. За окном зловеще дыбился горбатыми ветвями терновник, окаянное дерево. Буква "Я" в сплетении веток шагала, шагала, конца не было ее пути... Отворите окно, отворите, мне недолго осталося жить... Сильным голосом неизвестную песню... И косы остригли, не пожалели. Какие там косы, когда у всей страны кишки вываливались... Мать там за стеной стучит, стучит... Сгинет когда-нибудь эта многоголовая, хвостатая, когтистая Левая Работа? "Отворите окно, отворите..." Отворите окно...

...В субботу днем, часа в три, за ним приходил отец. Мальчик ждал его с тайным нетерпением. Отец был праздником, отец — это парк, качели, аттракцион "автокросс", мороженое в стаканчиках, жвачки сколько душа пожелает, карусель и никаких скандалов. Но от матери надо было скрывать это радостное нетерпение, как и все остальное, касающееся его отношений с отцом. О, здесь мальчик был тонким дипломатом.

— Давай я оденусь и буду встречать его во дворе, — предлагал он матери небрежно-скучающим тоном. При ней он никогда не произносил ни имени отца, ни слова "папа".

— Успеешь, — хмуро бросала она, выглаживая его рубашку. Он помалкивал, боялся ее раздражать. Встречаться с отцом во дворе было несравненно удобнее, чем здесь, при матери. Во-первых, не нужно им лишний раз сталкиваться, от этого одни неприятности. Мать вообще опасна

при таких встречах, да и отец, несмотря на свою выдержку, нет-нет да срывается на выяснение каких-то дурацких вопросов. Например, в прошлый раз, когда мальчик не успел выйти во двор к положенному часу и отец позвонил в дверь, завязался между ними отрывистый нервный разговор о его, мальчика, воспитании. Слово за слово — и напряглась, налилась свинцовой ненавистью мать, негромко и враждебно цедил сквозь зубы отец:

— Ну что ты смыслишь в воспитании, ты хоть Спока читала?

— Нет! Зато я читала, чего ты не читал — Чехова и Толстого!..

Непонятные слова, непонятный разговор. Две холодные враждебные стороны, и он между ними — изнывающий и бессильный...

Да, лучше было встречать отца во дворе. Тогда и встреча бывала совсем другой. Можно было побежать к отцу со всех ног, в его распахнутые большие руки, вознестись вверх, к отцовским плечам, и прижаться щекой к его губам. При матери он никогда не позволял себе этого, знал, что ей будет больно. Вообще сложный это был день — суббота. Нужно было улаживать, устраивать все так, чтобы и той не причинить, и того не обидеть. И во всех этих запутанных отношениях умудриться и для себя урвать хоть капельку приятного.

А приятное начиналось сразу же, за углом дома, едва они с отцом поворачивали к метро. Приятное начиналось с отцовских карманов. Мальчик уже ждал этой минуты и поглядывал на отца заговорщицки. И отец поглядывал на него.

— А ну-ка, глянь, что у меня в кармане водится!— наконец говорил он, хитро прищуриваясь.

Мальчик запускал руку в огромный отцовский карман и с восторгом вылавливал оттуда свистульку, жвачку, надувной шарик, три конфеты.

— Урра-а!

Все это можно было найти и дома, если покопаться в картонном ящике для игрушек, но — нет, все было не таким, все не то... И закручивалась карусель субботних удовольствий. Отодвигалось все: дом, мать, уроки на понедельник, баба Шура, дворовые приятели... Крутилась зеленая в красных

яблоках пролетка на деревянном круге, отец крепко держал его за плечи, и веселье захлестывало их пестрой лентой...

Вечером они добредали до отцовской квартиры, отец стелил мальчику на диване, раздевал его, сонного и тяжелого, и тут, в мягкой подушке, тонула праздничная, буйная, зеленая в красных яблоках Суббота.

С утра в воскресенье он уже начинал скучать по матери. Сидел за столом, рисовал, раскрашивал цветными карандашами книжку-раскраску и представлял, что сейчас делает мать. Может, стучит на машинке, может, стирает, а может, она пошла в магазин, встретила по пути Борьку — тот всегда в воскресенье болтается во дворе — и разговорилась с ним? Мальчик застывал на секунду при этой мысли, чувствуя, как ревность вдруг прильнула к сердцу и отпрянула, а ожог остался и ноет... А вдруг она рассказывает Борьке какую-нибудь историю, точно так, как ему? Про пиратов или про мамонтенка? Может, даже она погладила Борьку по голове? А он сидит здесь и раскрашивает дурацкую книжку?! А вдруг к ней пришел сейчас какой-то знакомый и они пьют чай и разговаривают, а он сидит здесь и ничего не знает?!

— Ну что, будем собираться? — говорил он отцу небрежно-скучающим тоном. — А то стемнеет...

— Ты что, сынок! — удивлялся отец. — Только двенадцатый час, куда ты рвешься? Мы так редко видимся... Ну чем тебя занять? Сказку рассказать? Про медведя и зайчика.

Мальчик терпеливо, чтобы не обидеть отца, выслушивал многолетнюю сказку про медведя и зайчика. Потом они играли в железную дорогу, смотрели телевизор, обедали — отец жарил яичницу — и наконец начинали собираться.

Мальчик лежал на диване, подперев кулаками подбородок, и наблюдал, как отец бреется перед большим зеркалом. Тот брился тщательно, дотошно, как делал все. Изнутри подпирал языком щеку, тянул шею, оттягивал пальцами кожу на висках.

Вообще отец очень нравился мальчику. Он был большой и красивый. И не сутулился, и ходил легкой размашистой походкой.

— Когда я вырасту, я тоже стану бриться, — сказал мальчик задумчиво.

— М... угу... — промычал отец, выбривая кожу под носом.

— Вообще, когда я вырасту, я... очень вырасту, — добавил мальчик уверенно. Себя уверял.

— Обязательно, — подтвердил отец. — Ты будешь очень высоким. У нас в роду коротышек нет.

"У нас в роду!" Много бы мальчик отдал, чтобы выяснить наконец, где находится это самое — "у нас в роду"... Когда он жаловался матери на неполадки в школьных тетрадях, мать отмахивалась: "Получится! У нас в роду тупых нет". Интересно, где же, в какой стороне света это благополучное и счастливое "у нас в роду"? Получалось, мать и отец вроде как земляки, а вот не сроднились, не вышло у них...

Отец завязал красивый галстук, надел пиджак и стал искать что-то на письменном столе.

— Ого! — сказал он, наклонившись над рисунком мальчика. — Да ты уже замечательно рисуешь! Это что здесь?

— Это война, — пояснил мальчик.

— Смотри-ка, и танки, и самолеты. А это что за кляксы?

— Бомбы летят.

— Молодец... А солнышко почему не нарисовал, вот здесь, в углу?

— На войне солнца не бывает, — сказал мальчик. Отец усмехнулся и взъерошил ему волосы:

— А ты у меня философом стал... Раньше времени... Раньше времени! На них не угодишь. Одна твердит; "Думай, думай обо всем!" Он удивляется: "О чем думать?" — "Обо всем! — упрямо твердит она. — Обо всем, что видишь!" Другой третий год сказку про медведя и зайчика рассказывает...

— Когда уже спускались по лестнице, отец вдруг Копнул себя по карманам пальто и сказал:

— Ах ты, черт, сигареты забыл! Сынок, они в верхнем ящике письменного стола. Сбегай, милый! На ключ.

Мальчик помчался наверх, перепрыгивая через ступеньку, запыхавшись, отворил дверь и подбежал к столу. Пачка сигарет лежала в верхнем ящике, на чьей-то фотографии. Мальчик взял сигареты и вдруг увидел что это фотография матери. Мать на ней получилась веселая, с длинными волосами. На обороте отцовской рукой написано: "Мариша..." В первый миг мальчик захотел взять фотографию и объяснить отцу — я забрал карточку, где веселая Марина, она ведь тебе больше не нужна, — но потом подумал, тихонько положил карточку на место и задвинул ящик...

— Дверь захлопнул? — спросил его отец.

— Захлопнул... — глухо ответил мальчик. От метро они пошли не обычной своей дорогой, а в обход, мимо киоска "Союзпечать". Отец давно обещал ему купить значки с собаками. Он купил три значка, с собаками разных пород, и мальчик сразу же нацепил их рядком, на куртку. Потом поднял глаза и увидел возле магазина старого знакомого — нищего. Тот стоял, как обычно, одной рукой опираясь на палку, другой протягивая кепку, и смотрел в землю, как всегда, безучастно. Бросишь ему монетку, он вскинет голову, как лошадь: "Доброго здоровьица!" — и опять в землю уставится... Мальчик встрепенулся:

— Папа! Дай деньгу!

— Зачем? — спросил отец.

— Я нищему подам!

— Этого еще не хватало — алкоголиков поить!

— А мы с Мариной всегда подаем, — сказал мальчик и пожалел, что сказал. Сразу насупился, и уши покраснели. Мать — это была мать, другая сторона, и незачем задевать ее в разговоре.

— Узнаю село родное... — пробормотал отец сквозь зубы.

Мальчик подумал, что мать, наверное, уже сидит во дворе на лавочке, ждет его. Она всегда выходила его встречать, наверное, волновалась — как он и что... Не сиделось ей в квартире.

— Давай здесь попрощаемся, — сказал он отцу.

— Почему? Я тебя до подъезда провожу...

Так и есть, мать сидела на лавочке, смотрела в ту стону, откуда они появились. Поднялась и осталась так стоять.

— Ну, дай я тебя поцелую, — сказал отец. — Будь здоров.

Мальчик не потянулся к нему, чтобы не обидеть мать, только подставил щеку. Отец сказал:

— На той неделе возьму билеты в цирк. Ну, иди. Мальчик пошел, стараясь не ускорять шаги, чтобы не обидеть отца. Даже обернулся и помахал ему — отец стоял и смотрел вслед. Мать тоже смотрела на мальчика, не в лицо, а повыше, в вихор, выбившийся из-под шапочки. Когда он наконец подошел, она молча взяла его за плечи, и они зашли в свой подъезд.

В прихожей она так же молча, с окаменевшим лицом помогла ему размотать шарф и направилась в кухню.

— Что случилось? — крикнул он вслед.

— Я была в парикмахерской... — тихо сказала мать из кухни. — Парикмахер сказал, что у меня полголовы седой. Я поняла, что жизнь кончена, и купила себе финское платье.

— Где купила? — уточнил мальчик. Его раздражала манера матери сумбурно выражаться. — В парикмахерской, что ли?

— Нет, в ГУМе...

— А-а!.. — сказал он. — Покажи, где оно?

— Да вот же, на мне!

— А-а... Хорошо... Красиво...

Он обнял ее сзади, за пояс, прижался лицом к спине. Он быстро рос, и в этом году уже доставал ей до лопаток.

— Не бойся, Марина, — сказал он в зеленую шелковистую ткань. — Когда я стану бриться, я на тебе женюсь...

— Вот спасибо! — сказала она. — А теперь, пожалуйста, ешь быстрее и иди спать. — Опять Левая Работа?!.

...Он медленно раздевался в комнате. Стянул через голову рубашку, помахал длинными пустыми рукавами, искоса поглядывая на стену — там бесновалась немая рубашкина тень, — и, вздохнув, сел на постели. Так хотелось рассказать матери про карусельную субботу!

Про то, как в "автокроссе" они все время догоняли синюю машину, в которой сидели усатый дядька с рыжим пацаном, а потом с грохотом наехали на них и все вместе долго хохотали. Но нет, нельзя, нельзя...

Он приплелся в кухню и сел на табурет, возле матери.

— Ну?.. — спросила она, исправляя что-то ручкой на отпечатанном уже листе.

— Ты знаешь, какой бандит Сашка Аникеев?! — возмущенно спросил мальчик.

— Ну-у...

— Он говорит ужасные слова. Например -"сука", вот какое ужасное слово!

— Нормальное слово, — пробормотала мать, — если по делу.

— Он не по делу! Да нет, ну ты не веришь, а он говорит настоящие материнские слова!

— О господи! — вздохнула мать и стала заправлять в машинку очередной белый лист. — Ну, еще какие новости?

— Он дразнится на каждой перемене, что я втрескался в Оксанку Тищенко.

— А ты втрескался?

— Да, — признался мальчик.

— Тогда по морде! — посоветовала мать.

— Я не могу — по морде, — сказал он.

— Почему?

— Морда глазами смотрит...

— А-а...— Тогда выкручивайся как знаешь... Ну, все?

— Нет... — он помялся... — Знаешь, Сашка говорит, что я — еврей, — выговорил он наконец, пристально глядя на мать.

— Да. Ну и что?

— Марина, я не хочу быть евреем... — признался он.

— А кем ты хочешь быть? — хмуро осведомилась она.

— Я хочу быть Ринатом Хизматуллиным. Мы сидим с ним за одной партой, он хороший мальчик.

— Вот что, — сказала мать. — Я тебе про все это объясню, только завтра, понял?

— Почему завтра?

— Долгий разговор. Много сил отбирает. Понял? А теперь марш спать!

Он посидел еще тихонько, слушал, как тарахтит машинка, поковырял пальцем дырку в колготках и попросил:

— Марина, займись со мной... — "Займись мной", — поправила мать машинально не отрывая взгляда от машинки.

— Займись мной, — послушно повторил он.

— Отстань, — сказала она на той же ноте. И вдруг подняла на него глаза, отложила в сторону лист и тихо сказала: — Ты хочешь, чтобы мы летом поехали к морю?

— Ага! — оживился он.

— Для этого я должна стучать на машинке. Я заработаю денег, мы летом сядем с тобой на поезд и поедем к морю.

— И наши соломенные шляпы возьмем? — радостно спросил он.

— Возьмем шляпы.

— И ты будешь лежать на пляже, а я буду сыпать тебе на спину песок тонкой струйкой?

— Тонкой струйкой...

— А потом я сяду на твою горячую спину и мы поплывем далеко-далеко?

— Далеко-далеко... — сказала мать и отвернулась к окну. Мальчик понял, что она плачет, и ушел в комнату, чтобы не мешать.

...Уже засыпая, он опять пришел во двор с отцом, и мать встречала его. Он шел от отца к матери, словно плыл от одного берега к другому. Трудно плыл, как против течения. Мальчик чувствовал, что отец смотрит в спину, а мать смотрит в вихор, выбившийся из-под шапочки. О чем думали эти двое?..

За окном сгустилась темень, и не видать было терновника, и не видать было, как шагает в неизвестные дали самостоятельная и отважная буква "Я"...

Душегубица

Моя тетя Берта была убийцей.

В юности она забеременела от своего двоюродного брата, красавца, умницы и шалопая, и когда он посоветовал ей обратиться к Лежбицкому, известному доктору по дамским кручинам (деньги, кстати, твердо обещал) — подстерегла его с банкой серной кислоты и плеснула в лицо. Он страшно закричал, бросился за ней, упал и умер. Вернее, так: умер и упал — у него было слабое сердце.

Собственно, теткой Берта приходилась не мне, а маме. Так что корректирую временные координаты: дело происходило в начале прошлого века.

Тут важно представить культурное общество и уютную жизнь маленького городка, где разворачивается действие. Почтенное семейство Когановских, мой прадед Пинхус Эльевич и прабабушка Хая… Они не то чтобы очень богаты были, но все ж кондитерскую фабричку держали. Не бог весть что, работали на предприятии всем семейством, и было кому работать, между прочим: пять дочерей, одна в одну. Не шутка! Девочки сидели на завороте, — заворачивали конфеты в фантики: мастерство утомительное, требовательное, все на быстроте пальцев. Виртуозы работали со скоростью конфета в секунду.

— Конфета в секунду?! — недоверчиво спрашивала я бабку.

— Ну, в две, — отвечала та.

Берта была второй по старшинству. Между прочим, она и образование получила неплохое — класса четыре гимназии, кажется. И обладала немалой склонностью к точным наукам — но это так, к слову. А на дореволюционной карточке, что хранилась… господи, ну почему — хранилась? просто валялась в толстом альбоме, кочевала меж картонными листами, оттесняемая к концу, к самому концу… — так вот, на той старой карточке (почему-то в них, в отличие от фотографий позднейшего времени, всегда присутствует душа мгновения, не правда ли? — незримый отпечаток тихого ангела, что пролетает в минуты, когда ты напрягаешь взор и держишь легкую улыбку в губах, ожидая отмашки фотографа: готово, барышня! Что улавливали из эфира эти матовые пластины в считанные секунды — одна… две… три… четыре… — когда клиент сосредоточен, чтобы не мигнуть, держать спину и выровнять бровь?) — на той, повторяю уже утомленно, картонной, с ажурными краями, постановочной карточке Берта, недавняя гимназистка, стоит, опершись на обломок коринфской колонны: за спиной романтические развалины замка в духе Ватто, на кисть намотан ремешок плоской сумочки — блик на ее металлической пряжке своей живостью не дает мне покоя лет уже сорок.

Пухленькая темноглазая девушка, изумительная кожа — это видно даже на картонке цвета слоновой кости. У нее и в старости были гладкие румяные щечки.

С тех пор как мама под страшным секретом рассказала мне историю этой страсти, я пытливо вглядывалась в девичье лицо на фотографии: пристальные глаза под чуть припухлыми веками, ремешок сумки вокруг изящной кисти, узкий нос туфельки из-под платья… — когда это, когда? До? Или после? До? Или после того, как умер и упал?

Итак, мы вернулись к началу. Он умер и упал на крупный булыжник мостовой, шипя лицом…

Растрепанную и обезумевшую от икоты Берту притащили в участок прохожие свидетели, и вплоть до суда, почти до родов, она таки посидела в кутузке.

Между тем, убитый (как остывает кровь и гаснет свет в этом глухом и тесно сколоченном слове!), — убитый молодой человек приходился прабабушке Хае родным племянником! Любимым сыном ее родного брата. Старшим — у брата было еще двое сыновей. И прабабушка Хая — ангел, ангел, нечеловеческой доброты существо! — не в силах снести… да, именно это слово: снести страшной тяжести позора и горя, пошла вешаться в сарай за конфетным цехом.

Конфетный цех и сам по себе сараем был, но побольше и светлее. А в том, что выбрала себе для гибели прабабушка Хая, варили патоку в котлах. Из деревянных ящиков там прорастали и заплетались в узоры запахи цукатов, корицы, ванили, сушеных яблок, вишен и слив… лимонной и апельсиновой цедры…

В юности я довольно явственно представляла те несколько мгновений, что она успела повисеть… — по счастью, в сарай ворвались родные и вынули бедную из петли. Мое паскудное воображение, спущенное с цепи еще в раннем детстве, рисовало висящую в густых испарениях патоки старуху (прабабушка Хая тогда старухой вовсе не была), ее лицо в испарениях приторного удушья…

Короче, ее вынули из петли.

И самое поразительное для меня в этой истории то, что оба родных брата погибшего явились в суд свидетельствовать против него!..

Кажется, я могла бы написать рассказ о том, как эти два мальчика провели ночь перед судом. Старший брат, их кумир, гордость семьи, лежал в могиле, а они должны были публично предать его память, выгораживая злодейку, убийцу, гадину. И они это сделали! — так эти мальчики любили и жалели свою тетю Хаю. Каждый поднялся и произнес роковые слова обличения: да, брат был легкомысленным обманщиком, совратителем невинной девицы… И далее, что полагается…

На скамью подсудимых не глядели, только на прабабушку Хаю, сидевшую в углу, в черной шляпке, под густой вуалью.

Ну, а теперь скажите мне: где тот Шекспир и кому он нужен?

Свидетельства братьев произвели на присяжных такое впечатление, что Берту оправдали.

Хотя потом, когда изредка она приезжала в Золотоношу навестить родителей (а после родов Берта с младенцем тотчас были сплавлены к дальним родственникам в Полтаву), оба этих брата не только не показывались в теткином доме, но и покидали город на то время, что проклятая убийца отравляла воздух своим дыханием.

Дальше… дальше семейные воспоминания по линии Берты как-то теряют четкость, расплываются, вихрятся в потоках революции и всего того, что за ней последовало, — например, экспроприация конфетной фабрички, которая все равно без Берты приходила в упадок: да-да, единственная из всех сестер, она не сидела в заворотчицах, а вела бухгалтерию, все расчеты держа в голове — что кому из заказчиков сгружено, от кого получено и кто задолжал. В светлейшей голове под легкомысленными кудряшками с легкостью проворачивались все финансовые операции; горы конфет — блескучие, пестрые, золоченые центнеры конфет пересыпались, шевелились, струились в этой голове…

Но я отвлеклась.

Всем уже было не до Берты. Из прерывистой и остатней памяти семьи мне удалось выколотить, что мальчик ее, дитя страсти и преступления, прожил недолго: в три годика он умер от тифа, хотя Берта берегла его пуще собственных глаз (и уж гораздо пуще глаз его покойного отца), для чего даже устроилась уборщицей в детский дом, куда и определила ребенка, чтобы находиться все время рядом.

Однако не уберегла.

Все остальные дочери, заворотчицы (о, фамильная сноровка в пальцах, о ней — позже) Катя, Рахиль, Вера и Маня, разъехались из Золотоноши кто куда, сменив место жительства и заодно уж отчество; новое время потребовало некоторой смены фасада, и почтенный прадед Пинхус слегка преобразился: Рахиль и Вера переделали его в Петра, Берта и Маня нарекли отца Павлом (тем

самым придав и без того библейскому его облику нечто апостольское). Что же касается старшей, Кати, — та вообще почему-то стала Афанасьевной.

Глубоким стариком перед самой войной прадед пустился в долгое и обширное по географии путешествие — он навестил всех дочерей. Вернувшись домой, сказал прабабушке Хае:

— Хорошо, что у меня нет шестой дочери. А то на старости лет я превратился бы в Ивана.

Но — Берта.

Как жаль, что желание различить свои черты в предыдущих коленах родни приходит в том возрасте, когда валы времени уносят неумолимо щепки человеческих жизней. Не нарочно ли это задумано для того, чтобы каждая новая жизнь прокатывала и прокатывала заново считанные сюжеты судеб; молодость с ее животной жаждой сиюминутной жизни, молодость, отметающая все, что было до — вот наилучшая плотина между потоком времени и озером человеческой памяти.

Берту я помню кругленькой румяной старушкой, утомительно четко произносящей вставными челюстями идиотские партийные лозунги. Да она и сама была "партейной" (так и произносила это слово), годов с тридцатых. Светлейшая голова идеально совместила счетное дело с государственной идеологией.

В период великого голода на Украине Берта устроилась работать в хлебный магазин и, благодаря феноменальной своей памяти, очередь отпускала с невероятной скоростью: предъявления карточек не требовала, держала в голове — кому сколько положено.

Так вот, где бы она ни жила, в первую голову шла становиться "на партейный учет". Исправно платила взносы и посещала партсобрания.

Словом, жила она и жила в этой неразличимой и тоскливой для меня сердцевине прошлого века в… Мариуполе. Отнесло ее течением от всей семьи и бросало в разные стороны.

И вот тут надо бы ухватить ниточку параллельного сюжета и тихонько так, осторожно, чтобы не порвать, подтянуть ее, связав с главной, хоть и прерывистой нитью повествования. Но для этого нужно вернуться в тот день, когда фотограф говорит юной Берте: "Момент, барышня!" — и ныряет под бархатную попону старого деревянного ящика на треноге, и колдует там, во тьме, над матовым стеклом, компонует кадр и наводит резкость. А за спиной юной девы — развалины романтического замка, и сумочка на руке, и нога в остроносой туфельке победоносно утвердилась на кудрявой капители.

В эти самые минуты с улицы через витрину ателье на Берту смотрит ученик реального училища Мишенька Лещинский, смотрит безнадежно и влюбленно. Он даже урок пропустил, таскаясь за Бертой по городу: а вдруг хоть на минуточку в его сторону глянет карамельно-шоколадная дочка Пинхуса Когановского! Да только где он и где она, и кто он такой, единственный сын шляпницы Розы?

Старше его на два года, Берта просто ослепительна: кожа гладкая, брови шелковые, золотистые, румянец леденцовый… (В детстве старшие девочки ловили ее и послюнявленным платком терли щеки — убедиться, не румянит ли, паршивка?)

А когда стряслось это с нею… как сидел он в зале суда, с колотящимся сердцем, не отлучаясь на перерывы! Как смотрел на нее во все глаза! И больно, и страшно — человека ведь убила, родная, родная моя! Представлял: это он, это с ним… это жизнь так отдал…

И внутри все закатывалось и обмирало…

Загибался Мишенька от любви, ходил затуманенный и очумелый, в училище остался на второй год, так что мать хлестала его по лицу чьей-то шляпкой, что под руку попалась, и называла несчастьем, идиётом и гойским бездельником…

Ну, а далее декорации меняются кардинальным образом: Советская власть, что открыла широкую дорогу беднейшим слоям и так далее, оказалась для Миши Лещинского просто тетей родной. Его судьба сложилась на редкость уютно: он благополучно закончил какой-то технический вуз и, грянув оземь, оборотился завидным женихом. Хорошее жалованье, видный мужчина. Спец.

На фотографии, где они с Бертой смотрят в объектив с деловитой готовностью подняться и ехать немедленно туда, куда пошлет судьба, Миша Лешинский — мой любимый дядя Миша — очень

похож на великого артиста Чарлза Спенсера Чаплина. Ростом тоже был невелик, косая волна кудрей надо лбом, глаза навыкате, усы — жесткой щеткой, скорее эйнштейновские…

Самой большой привязанностью его жизни была я. В смысле — именно я.

Но я как-то все время сбиваюсь в сторону.

Так вот, куда бы ни занесла ее одиночья злая доля, Берта нигде не теряла великолепной цепкости к обустройству быта. Ее светлейшая голова всегда просчитывала наперед возможные варианты и всегда разрабатывала самый плодоносный.

В очередной приезд к родителям Берта столкнулась с бывшим своим жалким воздыхателем, сморчком и тютей, преображенным до неузнаваемости. Он в эти годы жил в Днепропетровске, работал инженером где-то на производстве, но, как и Берта, приезжал в Золотоношу навестить мать. Та по-прежнему сидела в шляпной мастерской — в провинциях дам стало меньше, шляпки пошли на убыль, но вовсе не перевелись. Старуха потихоньку продолжала сметывать шелковые подкладки, крутить проволоку для ромашек и фиалок, подкалывать булавки.

Берта как раз и забирала от нее новую шляпку: серый фетр, бордовая ленточка по тулье. Скромно, элегантно. Цветка не надо. Они столкнулись в дверях.

Миша отпрянул, вспыхнул и побледнел… Инженер, спец, видный мужчина… Жалко было смотреть… и ужасно приятно! Берта просчитала все разом и до конца. Участь Мишина была решена и раздавлена.

Когда она вышла, Роза-шляпница с неостывшей улыбкой, с которой уговаривала Берту "заглядывать почаще, на той неделе завезут настоящую соломку…", уже брызгала слюной и шипела сыну:

— Ни за шьто! Ты не пойдещь с нею, не пойдещь! С дущегубицей! Дуще-гу-би-цей!?

Увы, история любовной горячки и страшного преступления Берты много лет оставалась в городке любимейшей темой пересудов. К тому же старуха опасалась за жизнь единственного сына: это жь уму непостижимо — шьто там у нее в голове, у этой дикой женчины, не приведи господь!

Однако встреча была уже назначена.

Из Золотоноши свидания перенеслись в Днепропетровск и Мариуполь, Мариуполь и Днепропетровск, опять в Золотоношу… Лет семь, кажется — история библейского Яакова наоборот! — лет семь продолжалась борьба за Мишеньку Лещинского: война не на живот, а на смерть между румяной и по-прежнему обольстительной Бертой и старой ведьмой, изощренно проклинающей на идиш душегубицу и всю ее родню.

Не нужно иметь светлейшую Бертину голову, чтобы просчитать исход этой битвы: рано или поздно шляпница должна была пасть, рассыпаться, как старая крепость. Она и вправду с годами приходила в упадок. Память туманилась, забывались имена и даты… но образ душегубицы и ее злодеяние — едва сын вскрывал новое письмо — всплывали перед старухой в подробностях, в речах обвинителя и защитника, взрывах рыданий в зале суда… вызывали прилив свежей ярости — короче, шляпница молодела на глазах.

Последняя битва разыгралась в Днепропетровске, куда Берта должна была окончательно переехать к инженеру Лещинскому жить. Жить! Наконец-то жить, после стольких лет унизительного и горького прозябания.

Она купила билет на поезд, дала телеграмму о приезде, Миша белил спаленку, переделанную из кладовки…

Дня за два до выстраданного Бертой великого воссоединения старуха в своей богом забытой Золотоноше напряглась, поднимая ведерко с углем, и грохнулась на пороге. Она таки организовала себе паралич. Левая рука, правда, шевелилась. Этой ядовитой рукой она скорябала Мише телеграмму: "через мой труп воскл". Соседка побежала на телефонный узел, вызвала инженера Лещинского с работы, и на другой же день тот примчался забрать к себе мамашу. Беленая спаленка пригодилась.

Эта история в родне пересказывалась как спектакль, увлекательная пьеса в исполнении знаменитых актеров. О воплощении пьесы позаботилась Маня, младшенькая Пинхусова девочка, тоже ловкая заворотчица, Маня по прозвищу Вдовья Доля, которая и сама заслуживает отдельной новеллы и когда-нибудь ее таки получит.

Передаю события, не меняя ни слова, — они все, эти девочки-заворотчицы, были актрисами от рождения; как соберемся, бывало, говорила бабка, почнем россказни, да как завернем, завернем такое!.. — лучше всякого театра.

Так что я, пожалуй, просто выпущу на сцену Маню, которая в это время оказалась в Мариуполе у Берты в гостях и стала свидетельницей события.

— Я-то Бэтьке баулы помогала складывать. Она говорит — все, все заберу! Там у Мишеньки дом холостяцкий, так я и тряпочки, и полотенечки…

Ну, а я утюг на угольях чуть не весь день держу: оно хоть и в чемоданах, хоть и помнется непременно, а все же какие ни есть складочки останутся… Вдруг со двора почтальонша орет: "Берта Павловна! Вам телеграмма!"

Та выскакивает и нет ее, нет… что за притча, думаю? А утюг-то у меня на угольях, и я при нем… Вдруг входит Бэтька: бледная, пружинистая, сует мне под нос этот листок:

"Читай!" — говорит.

"Да у меня утюг на угольях!"

"Читай, Маня!"

Читаю по белому черным: "Приезда воздержись". Два слова! Но я таких двух слов ни себе, ни своим дочерям, ни племянницам, ни невесткам… Шутка ли, после семи-то лет: "приезда воздержись"! А?!

"Что скажешь?" — спрашивает Бэтя, а глаза сверкают, как безумные, и куда-то за спину мне смотрят… Счас, думаю, как бы она в меня чем не плеснула… Ша — молчу, молчу!

Растерялась, говорю: "А что сказать? Это ж тебе не Талмуд, чтоб его так-эдак толковать. Написано воздержись, значит, воздержись…"

"Э, не-е-ет! — и улыбается зловеще, холодно так улыбается, что у меня, несмотря на утюг под рукой, аж мороз по коже! — Не-е-т, — говорит. — Я этой телеграммы не по-лу-ча-ла!"

Тут Маня держала торжествующую паузу и заканчивала с неизменным восхищением:

— Светлейшая голова! И железный принцип!

Не знаю, скончалась ли старая шляпница сразу после того, как увидела четырнадцать Бертиных баулов, или пожила еще чуток… какая разница? Вскоре началась война, и в Ташкенте, вернее, в Чирчике, куда был эвакуирован машиностроительный завод, Миша с Бертой оказались уже вдвоем.

Ее поставили директором заводской столовой. Прошу вдуматься и осознать смысл этой фразы, держа в уме военное время, небывало холодные зимы, голод, карточную систему, талоны на обед. Основным блюдом в меню значилась легендарная "затируха" — мучная похлебка, единственным достоинством которой было то, что она беспрерывно кипела в котлах.

На затирухе Берта могла озолотиться. Десятки директоров подобных столовых стали за военные годы богатейшими людьми.

— Но только не Берта, — говорит мне мама. — Она была кристальной честности коммунистом. Кристальной!

При этих словах я представляю себе кристаллики серной кислоты — хотя понятия не имею, как она выглядит, надо бы спросить у знакомого химика. Я ведь никого еще не убивала и даже не помышляла никого изуродовать; то ли яростная фамильная страсть оскудела, то ли просто случая не представилось…

— И больше того, — добавляет мама. — Ни себе, ни Мише не позволяла лишнего половника в миску. Его коллеги по работе, бывало, просят: "Миш, сказал бы ты своей, пусть лишний талон выпишет, жрать охота!" А он в ответ: "Да она и мне не дает…"

И в самом деле, всю войну проходил настоящим доходягой.

Однако бедняками Берта с Мишей не были. Работали оба тяжело, особо тратить было не на кого, детей у них не вышло и не предвиделось: Миша оказался бездетным. Одно время сестры (трое из пяти остались после войны в Ташкенте, Маня, младшенькая, "а мизиникл", вернулась на Украину; семью Веры, в честь которой названа моя сестра, в самом начале войны расстреляли вместе с прабабушкой Хаей под Полтавой немцы) — так вот, сестры уговаривали Берту взять на воспитание живую душу, в те годы послевоенные детские дома были переполнены сиротами.

— Чужого ребенка? — уточняла Берта. — Чужую кровь? Ни за что!

Так что деньги или, как говорила Берта, срэдства? у этой пары бездетных голубков постепенно копились.

К тому же, была у Берты еще одна зыбкая и, боюсь, противозаконная статья дохода. Время от времени ближе к вечеру к ним захаживали негромкие солидные мужчины, сидели недолго и уходили, оставив на столе столько, сколько совесть велит, — твердой таксы Берта не называла. Это были цеховики: с наплывом в Среднюю Азию эвакуированных толп в наших теплых краях небывало расцвели подпольные цеха. Я отлично помню кое-кого из этих неприметных цеховиков, живших по соседству. Дядя Саша, отец моей подруги Ленки, сначала изготовлял костяные гребешки, потом перешел на перьевые подушки.

Эта подпольная деятельность, о которой вполголоса говорили взрослые, представлялась мне чем-то вроде копошения гномов в темноте под землей. Время от времени кто-то из них неосторожно высовывался, и дракон с сакральным — судя по затаенному ужасу, с каким произносили его, — именем ОБЭХЭЭСЭС изрыгал огонь на бедного цеховика… В зависимости от величины взятки, жертву, обреченную на заклание, удавалось выкупить или, по крайней мере, скостить срок отсидки.

Помню обрывок странного разговора, услышанного мною в трамвае в детстве:

— …а что Зяма?! Он отбыл свою пятеру и пошел опять класть голову на плаху…

И я, придурковатое дитя арбузных рядов, запроданная Александру Дюма с потрохами, уплаканная до соплей над участью Марии-Антуанетты, при этих словах бог весть что себе вообразила!

Так вот Берта. Она ставила производство.

Много лет спустя, в последний свой приезд на родину, о тете Берте мы вспоминали со стареньким отцом моей подруги. Он сидел в кресле на террасе своего дома, построенного когда-то на прибыль с тех же гребешков, или подушек, или еще какого-нибудь подпольного товара, уже не в силах подняться мне навстречу, дробно кивая каждому своему слову, будто заигрывал с "Паркинсоном", что оставлял ему все меньше свободы жестов.

— О, Берта Па-а-а-вловна! — подняв трясущийся палец, говорил бывший цеховик. — Это была светлейшая голова-а! Она с ходу тебе называла суммы вложения, оборот, проценты… Она тебе всю карту дела выкладывала. А под рукой ни карандаша, ни листочка, ни, упаси боже, деревянных счетов. Разве сравнить с этими современными пустозвонами с ихними электронными считалками? Нет: Ротшильд! Морган! Рокфэллер! — вот кем она стала бы в другое время и в другой стране…— Трясущейся рукой старик достал конфету из вазочки, стал неловко разворачивать и уронил в чай.

После войны Берта с Мишей из Чирчика перебрались в Ташкент, купили на Асакинской половину домика — две комнаты, кухня, выходящая на террасу, — типичное ташкентское жилье середины века. Железную, крашенную серебрянкой печку зимой надо было топить. И Берта экономила на угле.

Мы с мамой часто бывали у них в гостях зимними вечерами; помню зябкого, в трех старых кацавейках, дядю Мишу.

— Бэрта, ребенок пришел! — взывал он к своей немногословной жене, и в эти минуты очень похож был на старого Чарли Чаплина, бродягу из "Огней большого города". — Ну дай же подкинуть уголек, Бэрта!

— А что, у нас холодно? — недоуменно спрашивала румяная Берта. — У нас совсем тепло. А если ты мерзнешь, так одень еще одну шмату…

Помню и летние вечера, жужжание мух в прохладе высоких потолков, стол на террасе, накрытый к чаю. Прозрачно-золотистое варенье из айвы в пиалах и желто-черная воронка над ними жадных ос — Миша, гони от ребенка эту заразу!

Дядя Миша, маленький, с поредевшей волной седых кудряшек, стоит надо мной с кухонным полотенцем, свернутым в жгут: гоняет ос. На добрейшем лице остервенение. Долгие разговоры и препирательства с Бертой на тему — а я говорю, варить кипятком их проклятые гнезда!

Нас с ним связывала большая любовь. Какая-то необъяснимая тяга друг к другу двух разведенных во времени душ. Бывало, он забирал меня из детского сада и вел в зоопарк. Моя рука и сейчас помнит шершавую мягкость его теплой ладони. Какое счастье, что физическое тепло вполне осязаемо входит в тепло душевное и остается в памяти до самого конца.

Я пишу эти строки в своем кабинете, в окне — волнистые холмы Иудейской пустыни, а сама я в то же время иду с дядей Мишей по улице Асакинской, вдоль трамвайных путей, осторожно перепрыгивая через трещины в асфальте; осторожно, потому что в кармашке моего синего платья — выклянченный у дяди Миши подарок: новорожденный черепашонок размером с гривенник. Ему и цена-то гривенник, только хлопот полон рот: сначала идти в дирекцию зоопарка, брать разрешение на покупку, тащиться с этой бумаженцией на другой край огромной овражистой территории, чтобы поставить печать и уплатить в бухгалтерию, и лишь затем в полутемном сарае за обезьяньими клетками выбирать в огромном деревянном ящике, в каше копошения сотен черепашат, твоего единственного друга с кожистым янтарным панцирем, тощей шейкой и змеиной головенкой, похожей на коробочку.

— Ну… бери любого и уже пойдем, — говорит дядя Миша, вытирая потный лоб носовым платком.

— Подожди…

— Ну это же такая чепуха, даже смешно... Они все одинаковые!

— Нет, не одинаковые, ты не понимаешь!

Мы проводим у ящика еще с полчаса, я — свесившись по пояс внутрь, перебирая черепашат, похныкивая, что надо брать уже сразу двоих, или лучше… троих… А то ему будет скучно…

— Давай завернем его в лопух, — предлагает дядя Миша на обратном пути.

— Зачем?!

— Чтобы он не закакал твое такое прелестное платьишко.

— Нет, он задохнется! Нет, задохнется! Нет!!!

— Ай, не упрямься… — Он срывает лист лопуха над арыком и мы, ссорясь, вскрикивая, охая и несколько раз роняя на землю растопыренного черепашонка, наконец заворачиваем его в лопух, а он вытягивает шею, гребет по воздуху лапами, как упорный и безнадежный пловец в океане, и так хочется посильнее сжать нежный пружинистый панцирек, проверяя — не выпрыгнет ли при давлении наружу то, что внутри?

На каждой прогулке дядя Миша кормил меня мороженым и притчами. Мороженое выбиралось на лотке долго, чаще всего эскимо в серебристой обертке. Нет, не это! Вон то! Нет… то, что вы сейчас взяли, а потом положили…

— Дедуля, ну и балуете ж вы ребенка!

Мы сидим с дядей Мишей на деревянных, еще холодных после зимы скамейках в Сквере Революции, мои ноги в сине-красных, с лакированными круглыми носами ботинках не достают до земли, на коленях развернут большой дяди Мишин носовой платок — чтобы не закапать, боже упаси, такое прелестное платьишко! Ну, слушай жизненную историю… И запомни ее навсегда… Летит старый орел над высокими горами, и несет он на спине своего сына, орленка. И говорит ему…

— Почему? Тот еще не умеет летать?

— Не умеет, — скорбно говорит дядя Миша так, что у меня отпадают все сомнения в реальности этого странного перелета. Правда, много чего стоило бы уточнить: куда они летят и зачем? И к чему такая срочность, что уж и не подождать, пока орленок станет летучим? Вообще к любой истории у меня готова масса дурацких вопросов, и дядя Миша никогда не скажет, как остальные взрослые, — замолчи, не перебивай, ты не умеешь себя вести, — будет терпеливо отвечать, но я вижу, как грустно покачивает он головой, как наливаются скорбью его глаза, и молчу.

Ну давай, что там за жизненная история с говорящими орлами…

— И говорит старый орел сыночку: "Видишь, дитя мое, я несу тебя через горы, через моря… так далеко я лечу и так мне тяжело, но я несу своего сына из последних сил… А ты, когда станешь взрослым и сильным, а я буду старым и слабым… понесешь ли ты меня на своей спине?.."

М-м… логично. Почему же дядя Миша грустно умолкает и укоризненно кивает собственным мыслям?

"Нет, — отвечает орленок. — Когда я стану большим, я понесу на спине своего сына…"

М-м… Тоже логично, ничего не скажешь: если орел будет таскать на спине папашу, кто тогда понесет малыша?

— А дальше? — спрашиваю я. — Орел рассердился? Сбросил сына в пропасть?

— Боже упаси, — пугается дядя Миша, — кто же бросает в пропасть своих детей…

— Но что же было дальше?

— А ничего. — Дядя Миша вздыхает. — Я же сказал тебе — это притча. У нее нет конца. Есть только высокий смысл, понимаешь? Ничего, ты еще вспомнишь и поймешь, ты потом оценишь…

Умер дядя Миша внезапно, ранней холодной весной. Лег с вечера спать и утром не проснулся. Дал же бог такую смерть, говорили в родне. Завидовали…

Я училась во втором классе и не помню, чтобы сильно горевала. Нет, я не была бесчувственной идиоткой, просто поток жизни проносил сквозь меня целый мир с такой сокрушительной силой, что я не успевала оборачиваться.

Оплакивать дядю Мишу я начала совсем недавно, сейчас, когда мне стало совершенно ясно, что я и в самом деле больше не увижу его никогда. Никогда. Это слово является нам в полном

обнажении смысла именно в тот момент, когда притча подходит к концу, а нам так хочется продолжения. Хотя мы уже отлично знаем, как жестоко обрывается настоящая притча.

На похороны меня не взяли и, гоняя гальку по непросохшему весеннему асфальту, исчирканному в классики куском кирпича, я увидела, как во двор к нам въехал "рафик" и из него вышли мама, бабушка, мои дядя с тетей и старенькая сгорбленная Берта в платке. Они молчащей вереницей прошли мимо меня к нашему подъезду, заплаканная мама бросила: "Поиграй еще, поиграй…" — видимо, не хотела, чтобы я болталась под ногами в нашей небольшой квартирке, куда она зазвала родных согреться чаем и перекусить после похорон.

Я осталась стоять, ошеломленная смиренным преображением Берты из женщины в старуху. Что — платок? горестная сутулость? от чего зависит этот поворот рычага в мироздании каждого человека?

Словом, Берта осталась одна и жила себе дальше старухой еще много лет, по-прежнему покупая твердую зеленую айву на варенье, гоняя полотенцем ос и время от времени продолжая давать финансовые консультации воротилам подпольного бизнеса.

— Светлейшая голова! — вздыхали знакомые и родственники.

Денег за советы она ни с кого не требовала, печь топила зимой только в сильные холода, берегла копейку и активно посещала "партейные собрания".

Между тем, ташкентская почва копила в недрах горючую ярость, которая взыграла апрельской ночью 1966 года несколькими мощными толчками, не слишком заботясь о владельцах глиняных особнячков, вроде того, в каком обитала Берта. Не то, чтобы дом рухнул вдруг кому-то на головы, нет. Правда, одна стена треснула и пошла вбок, и соседи подперли ее двумя толстыми бревнами. Но этот катаклизм так удачно взбодрил вялую "партейную" тему дружбы народов, что весь центр города на всякий случай пустили под бульдозер. Над палатками развевались транспаранты с именами городов — Новосибирск! Челябинск! Ростов! Гигантская стройка развернулась в пыли среди ревущих экскаваторов. Исполины-чинары, под кронами которых столетиями клубилась лиловая тень, падали с грохотом на пустырях, где вчера еще вдоль улиц струился тихий лепет арыков.

Бертин домик был порушен за здорово живешь, но зато ей дали однокомнатную квартиру в одном из быстро возведенных районов. Она была страшно довольна: эпоха ведерка с углем, лопатки, садовой тяпки и прочего земельного инвентаря навсегда уходила из жизни. Мой дядя Яша, мамин брат, самолично перевез ее на новую квартиру, и целый час Берта гуляла по своей жилплощади, лаская ребристые батареи парового отопления, ахая перед кладовкой и с удовольствием вдыхая запах масляной краски.

— Что твоя королева! — приговаривала она зачарованно. — Я буду жить, что твоя королева!

Глухая королева, добавлю я. Да, это наше семейное — к старости мы глохнем.

Берта, кругленькая румяная старушка, никак не хотела пользоваться слуховым аппаратом. То ли экономила, то ли считала затычку в ухе чем-то позорным. Но теперь, когда мы с мамой приходили к ней в гости, надо было колотить ногами в дверь и одновременно остервенело давить на кнопку звонка, чтобы дозваться. С каждым визитом голос в разговоре с Бертой повышался на полтона.

— Когда я возвращаюсь от тети Берты, — говорила мама, — я и шепотом не в состоянии говорить. Ни один самый тяжелый класс, даже седьмой "Б", не стоит мне такого напряжения голосовых связок.

Дважды в год мама торжественно приглашалась для сакрального ритуала: Бертина каракулевая шуба (приобретенная когда-то у адвоката, вдовца, что распродавал гардероб покойной жены), весной отправлялась "в нафталин", а осенью из нафталина извлекалась — седоватая, с маслянистым блеском на крутых завитках, рождалась, как Венера из пены морской.

— Вчера была в жэке на партейном собрании, — докладывала Берта. — У меня украли авторучку.

— Ага-а! — кричала мама. — Это все твои партейцы!

— Собрание было открытым, — возражала та.

Она следила за здоровьем. Если шла в булочную, просила там разрезать буханку строго надвое и возвращалась, держа в обеих руках по половинке, для равновесия. Объясняла нам:

— Я одинокая, за мной ходить некому…

Правда, совсем уже в глубокой старости Берта все-таки прибилась к семье своего племянника, моего дяди Яши. Ее светлейшая голова, как всегда, просчитала все наперед.

В один прекрасный день она явилась к нему, плотно уселась в кухне на стул и, медленно проговаривая слова дребезжащим голосом, расправляя обеими ладонями скатерку на столе, предложила родственный обмен: она перепишет свою квартиру на Семена, Яшиного старшего обалдуя, а сама переедет сюда, в его комнату. И для всех наступит покой.

К тому времени Семен, с детства трудный мальчик, вырос и вполне профессионально терроризировал всю семью. Так что подобное предложение для дяди Яши действительно грянуло, как сошествие с небес архангела Гавриила. Тут же были уточнены хозяйственные условия — на этом настояла Берта. Она ежемесячно отдает в семью свою приличную пэнсию — аж тридцать пять рублей, деньги немалые, на мелкие удовольствия добавляет из накопленных с Мишенькой срэдств и живет себе до логичного конца в покое и тепле, в большой квадратной комнате с двумя окнами.

Обоюдному — да что там обоюдному! — тройственному счастью, казалось, не было предела: дядя Яша приобретал тихую, чистоплотную и еще бодрую тетку вместо великовозрастного скандалиста с его вонючим мопедом и оглушительным транзистором; Семен отчаливал на свободную хату — води кого хошь! А Берта…

Берта, перетаскивая свои пожитки в большую и светлую комнату в квартире племянника, и предположить не могла, во что влипла на старости глубоких лет. Ибо в соседней комнате этой квартиры обитала Рахиль, ее родная сестра. Моя бабка.

Ну и что? — скажете вы, и любой скажет. Замкнулся круг длинной жизни, две ленты сплелись: две родные сестры, две вдовицы, две старые голубки оказались под одной крышей, как много лет назад в Золотоноше, в доме своего отца Пинхуса Эльевича…

Положим, обе они голубками не были никогда. Рахиль, моложе Берты на три года, третья по счету, — та, что сидела на завороте и устанавливала немыслимые рекорды, конфета в секунду, ну, в две! — обладала характером лютым и с первого дня встретила сестру в штыки. Тесно ей было с

Бертой. Подмечалось все: сколько та кладет сахару в чай, где ставит боты в прихожей, как и когда вывешивает на балконе белье… Не могла бабка простить сыну, что в дом закралась врагиня. Ревновала так, что искры летели. Припоминала ей все.

— Мишу-то, Мишу угробила! — кричала бабка в коридор, — бедный, мерз всю свою жизнь, а она для него угля жалела!

В особо тяжелых случаях для арбитража вызывалась моя мама и возвращалась оттуда в совершенном отчаянии. Уверяла, что в ссорах зачинщица — бабка, знала материнский нрав.

Раза три она и меня брала с собой, разрядить обстановку. Я училась уже в десятом классе спецмузшколы для одаренных детей, публиковала рассказы в популярном московском журнале, и, что гораздо серьезнее, в газете "Вечерний Ташкент" уже вышло со мной интервью, где последним вопросом значилось — "Ваши творческие планы?"; предполагалось, что старухи меня постесняются. Ничуть не бывало! В один из этих визитов я и услышала брошенное бабкой: "Убийца!" — в Бертину сторону. И посчитала бы это фигурой речи, если бы не мгновенно изменившееся мамино лицо и сдавленный ее вопль: "Молчи!!!" Вот тогда, на обратном пути, в трамвае мама и рассказала в общих чертах — я бы все равно не отстала — историю этой любви и преступления.

Я пришла в неописуемый восторг. Представила хорошенькую растрепанную Берту в полицейском участке, обезображенный труп ее брата-возлюбленного на мостовой…

— Да-а-а, — протянула я с удовольствием. — Семе-е-ейка! Прямо всадник без головы!

И немедленно все забыла по причине оголтелой юности.

Помню сцену, одну из последних. Мы с мамой пришли в гости "к бабкам" (две обязательно одинаковые коробки конфет, или два кулька, или две пары одинаковых рейтуз, но разного цвета, чтоб не передрались)…

Дверь в комнату к Берте была прикрыта, и оттуда несся громкий мужской голос:

— Так вы советуете, Берта Павловна, все вложить в материал…

И что-то тихо на это отвечала Берта.

— Но он готов проценту дать только три, максимум четыре! А оборот весь…

И снова тихий голос старухи.

Потом дверь отворилась, гость от Берты вышел, она проводила его и направилась в кухню.

— Одного угробила, второго угробила… А сейчас морковку будет себе тереть! — ядовито сообщила бабка.

Я, всегда алчная к деталям, немедленно бросилась в кухню, якобы напиться. Берта стояла и терла морковку. Я поздоровалась, чмокнула ее в румяную пергаментную щечку. Она кивнула на оранжевую горку в миске и четко проговорила:

— Мне за собой смотреть надо! Я в одночасье должна умереть. За мной ходить некому…

И что вы думаете? Как сказала, так и сделала!

Ей исполнилось девяносто лет, и умерла она так же, как ее трепетный муж: прилегла отдохнуть, а уж вставать посчитала излишним. Накануне в очередной раз по Бертиной просьбе мама убаюкала адвокатскую каракулевую шубу в нафталин. И обратила внимание на то, что Берта не сказала, как обычно: "Пусть полежит до зимы". Только проводила молчаливым взглядом за маминой рукою путь металлической молнии на брезентовом мешке.

На похороны явилась вся Бертина партячейка — девять старичков, как один; очень горевали, качали головами, поверить не могли: "Как же так! Неделю назад она была на партсобрании. И выступала!"

На сберкнижке у Берты от всех накопленных с Мишенькой срэдств оставалось 32 рубля 40 копеек. Видимо, ее светлейшая голова точно просчитала нерентабельность дальнейшего существования.

— Слушай, — сказала я маме на днях, вернее, проорала: мама стала стремительно глохнуть, а слуховой аппарат носить не желает. У нее на это какие-то свои резоны, но после нескольких часов общения мои голосовые связки приходят в жалкое состояние, и я даю себе слово, что в старости, когда оглохну, воткну себе слуховые динамики в оба уха. Пожалею детей.

Нет, я понесу на спине своего сына…

— Слушай, я тут настрочила рассказик про Берту. Чего сюжету пропадать…

— Про кого?

— Про Бер-ту!!!

— Чего вдруг? — говорит мама, начищая овощи для супа. — Тоже мне, сюжет…

— Ну-ка, напомни: где она могла раздобыть серную кислоту?

— Что раздавить?

— Раз-до-быть! Отраву эту! Кислоту! Где взяла?!

— Фрадкин дал, подлец.

— Кто-о-о?!

— Ну, Катин же муж, Яша Фрадкин. — И спокойно смотрит на мое оторопевшее лицо. — Муж Екатерины Афанасьевны, самой старшей ее сестры. Я тебе рассказывала. Ты просто помнишь только то, над чем сейчас работаешь.

— Ни черта! Ты! Мне! Не рассказывала!!! Ну-ка давай, гони историю!

— Яшка-бандит, сначала работал у деда, ну, твоего прадеда Пинхуса Эльевича, учеником-кондитером. А когда он окрутил Катю — да просто не подпускал к ней никого, бил морды всем ухажерам, она за него от страха вышла, — он быстренько украл все рецепты деда и ушел, и через три улицы создал свой конфетный цех… Вот он Берту и подучил. Ты, говорит, только брызнешь маленько, пугнешь его, чтоб женился... И кислоту он же где-то достал. А она вон как, не рассчитала…

— Елки-палки!!! Я почти закончила рассказ, а ты мне еще какого-то Яго подсовываешь! Выходит, Берта не преступница, а жертва?!

— И жертва, — говорит мама, опуская картофелину в кастрюлю. — И преступница… Понимаешь, у Берты — может, ты не помнишь — была…

— Светлейшая голова, — нетерпеливо перебиваю я.— Ну и что с того?

— Яшка хотел переманить ее к себе в цех. На ней же у деда все финансы держались. А тут такое… Они с Катей мгновенно собрались и покатились — аж до Ташкента. Я рассказывала тебе, как в первые месяцы войны, совсем девчонкой приехала к ним одна, поступать в Среднеазиатский университет, и сбежала буквально через неделю в общежитие, потому что смотреть, как этот гад издевается над тетей Катей, было…

— Стоп! — говорю я. — Это другой рассказ. Ты мне здесь не смешивай краски…

— Вот так всегда, — вздыхает мама. — Тебя ничего не интересует из того, что не влезает в сюжет…

— Значит, суд отпустил ее после родов, потому что присяжные решили, что настоящим преступником был?..

— Нет…— говорит мама твердо. — Берта не выдала этого негодяя. Ни словом не обмолвилась — девчонка, восемнадцать лет! У нее были железные принципы… А на суде ее спасли братья убитого. Так и сказали оба, в один голос: "Этот ребенок до рождения потерял отца. Не лишайте его матери!"

Мама умолкает и пробует ложкой суп: конечно, это не патока, ароматы наших конфетных угодий окончательно развеялись в начале прошлого века, но уж приличный овощной суп женщины моей семьи сварить еще в состоянии.

— И знаешь, что интересно… — вдруг говорит она. — Берта, единственная из всех пяти дочерей, каждый месяц первого числа — день в день до самой войны! — посылала родителям денежные переводы. Довольно приличные, как говорила она, срэдства?. Это их очень поддерживало.

Между прочим, я пришла к выводу, что любой мастеровой навык, приобретенный человеком в том или другом семейном производстве, передается детям и даже внукам. Вот мама моя — историк, серьезный, далекий от фантиков человек — всегда с необычайной сноровкой пухлых своих пальцев, приговаривая: "Ловкость рук и никакого мошенства!" — может развязать мельчайший узелок на нитке, на цепочке. Да и я, не говоря уж о минувшей фортепьянной беглости пальцев, хоть сейчас заверну вам, упакую любую посылочку-передачку так, что сердце возрадуется.

Было бы что заворачивать.

Было бы кому посылать.

И бог его знает — куда уносятся все эти дни и годы, и даже века. Что за неутомимая заворотчица все крутит там и крутит сладостные мгновения наших судеб.

Необъятные горы безысходных конфето-секунд…

Часть 3. Ирония: детская литература

Василий Аксенов

Мой дедушка- памятник

Повесть об удивительных приключениях ленинградского пионера Геннадия Стратофонтова, который хорошо учился в школе, и не растерялся в трудных обстоятельствах.

Приключенческая повесть об удивительных похождениях пионера Геннадия Стратофонтова, который совершил почти кругосветное путешествие на научном корабле. Во время этого необыкновенного путешествия Геннадий и его друзья попадают в самые невероятные ситуации, из которых выходят с честью.

ПРОЛОГ

Я познакомился с Геннадием несколько лет назад в Крыму, на берегу Коктебельской бухты, что недалеко от Феодосии. В парке уже заиграла музыка, уже зажглись фонари и всякого рода мошкара повела вокруг них свой бессмысленный, но красивый танец, а скала Хамелеон на восточном берегу бухты все еще была освещена закатным солнцем. В свою очередь молодой месяц уже висел в зеленоватом небе над горой Сюрюккая. Гора эта на первый взгляд кажется осколком Луны или какой-нибудь другой безжизненной планеты, но, приглядевшись, можно заметить, что она напоминает и тот профиль, который великий Пушкин часто рисовал на полях своих рукописей.

В тот год море съело коктебельские пляжи почти до самой бетонной стены, и для отдыхающих были устроены над водой дощатые помосты. Вот по такому помосту я и разгуливал почти в полном одиночестве, размышляя о морских животных, о горных цветах и минералах, о почтовых марках, автомобилях и о спортивных соревнованиях, потрясавших тогда все цивилизованное человечество.

Кроме меня, на помосте находился лишь один человек - рослый плечистый

мальчик с умным и привлекательным лицом. Опершись на перила, он задумчиво смотрел в море, где по гребням бойких, беспорядочно прыгающих волн еще скользили розоватые блики заката, где иногда мелькали острые плавники дельфинов да кто-то мощно плавал стилем баттерфляй.

Пловец этот привлек мое внимание. Из воды ритмично вырывалась могучая спина. Взмахнув огромными руками, пловец бросался грудью на очередную волну и двигался вперед с удивительной скоростью.

- Не знаете, кто это там так здорово плавает? - спросил я мальчика.

- Это моя бабушка, - тихо ответил он.

- Бабушка?! - вскричал я.- Это удивительно.

- Ничего удивительного,- возразил мальчик.- До Великой Отечественной войны она была чемпионом Осоавиа-хима в плавании на сто метров баттерфляем. И по прыжкам с трамплина, - помолчав, добавил он.

Едва справившись с изумлением, я осторожно спросил:

- А во время войны?

- Во время войны ей пришлось, как и многим другим летчицам, служить в бомбардировочной авиации...

Бабушка тем временем совсем исчезла в быстро темнеющем море. Я покосился на мальчика. Он смотрел прямо перед собой за еще различимую черту горизонта. Отблеск молодого месяца стоял в его глазах. На груди его я заметил висящий на толстой цепочке якорек с припаянной к нему старинной монетой, похожей на испанский дублон XVI века.

- А вы почему не плаваете со своей бабушкой? - спросил я.

Он пожал плечами.

- Да так, не хочется...

- Может, не умеете?

Он быстро взглянул на меня и усмехнулся:

- Просто мне надоело плавать. За последний год мне это занятие немного прискучило.

Что-то таинственное послышалось мне в его голосе, когда он произнес эту довольно странную для мальчика фразу. Еще раз я посмотрел на него, и мне показалось, что он сейчас находится не на коктебельском пляже, а где-то в другом месте, где-то далеко, очень далеко, очень...

- А вы, я вижу, писатель, - проговорил он.

- Как вы догадались? - вновь поразился я.

- А вон у вас мозоль на указательном пальце правой руки. Такие мозоли есть у всех писателей. Конечно, у тех, кто пишет.

Удивлению моему не было конца.

- Позвольте, но как вы увидели эту мозоль в такой темноте?

- У меня довольно острое зрение.

- Ну хорошо, а если бы я писал на пишущей машинке?..

- Тогда я догадался бы по другим признакам.

- Фантастика! - воскликнул я.- Вы меня не разыгрываете?..

- Геннадий,- назвал он свое имя. Я тоже представился.

- Я достаточно хорошо воспитан, Василий Павлович,- сказал Геннадий,- чтобы не разыгрывать взрослых.- Он глянул в ночное уже море.- Бабушка возвращается.

В темноте слышались только музыка и голоса из парка да плеск волн.

- Все-таки разыгрываете меня, Геннадий...

- Да нет. Она уже в десяти метрах... Плывет под водой.

- Может быть, вы видите ночью, как днем? Может, вы так называемый никтолоп? - воскликнул я.

- Вы угадали, - просто ответил Геннадий.

Несколько секунд спустя бабушка с шумом вынырнула возле самой лестницы.

- Геная, ты здесь? - спросила она низким девичьим голосом.

- I am here, granny! - ответил Геннадий с идеальным английским произношением и добавил на незнакомом мне языке: - Хава свимматоре ю лер?

- Бундербул вера оччи! - с жизнерадостным смехом ответила на том же языке

бабушка и стала легко подниматься по лестнице.

Она была похожа на сильно увеличенную копию известной скульптуры "Девушка с веслом", но вблизи, однако, можно было разглядеть в ее лице следы былой красоты.

- Познакомься, бабуля,- сказал Геннадий.- Это писатель Василий Павлович.

- Очень приятно,- пророкотала бабушка, протягивая мне мокрую руку,- Стратофонтова Мария Спиридоновна. От нее пахло водорослями и здоровьем.

- Пойдемте к нам чай пить,- предложила она.

До утра засиделись мы тогда на веранде их дачи, и из рассказов Марии Спиридоновны и Геннадия сложилась такая поразительная история, что я счел своим долгом пересказать ее тебе, любезный читатель. Дай руку, мой благосклонный друг, и мы вместе вступим в мир удивительных приключений, которые, оказывается, еще происходят на нашей цивилизованной планете.

ГЛАВА I,

из которой доносятся до нас звуки раннего детства Геннадия Стратофонтова, и скрежет учительских ручек, выводивших в его дневнике многочисленные пятерки

Геннадий Стратофонтов родился в начале пятидесятых годов в Ленинграде, на улице Рубинштейна, от незаурядных роди гелей. Отец его был скромным работником почтамта и вместе с тем заслуженным мастером спорта по альпинизму, участником штурма многих заоблачных пиков. Маму его, скромного библиотекаря, по примеру свекрови, влекло еще выше - в небо, откуда она постоянно совершала затяжные парашютные прыжки в кислородной маске. В связи с этими увлекательными занятиями родителей Геннадий часто оставался один, но отнюдь не скучал. Еще в очень раннем возрасте он научился понимать и уважать папу и маму и предоставил им полную свободу действий.

Часами бродил крошечный мальчик по огромной квартире, не выпуская из рук

любимую книгу "Водители фрегатов". Квартира была темноватой и таинственной. Большие зеркальные окна ее упирались в стену недавно построенного желтого дома, похожего на чертог султана Мальдивских островов. Мутноватый желтый свет падал на слегка подернутые пылью конторки, пуфы, глобусы, барометры и секстанты. В столовой висел поясной портрет далекого предка Гены адмирала Стратофонтова, известного путешественника, человека широких передовых взглядов, прославившегося тем, что в 18... году он на своем клипере "Безупречный" загнал в залив Сильвер-бей эскадру кровавого пирата Рокера Буги. Гена часто останавливался перед портретом предка, смотрел на узкое лицо в пушистых бакенбардах, на голубые океанские глаза и тихо говорил:

- Здравствуй, дедушка. Позволь представить тебе моего друга адмирала Ивана Крузенштерна. Ах, вы знакомы? Ты служил на его шлюпке еще гардемарином? Очень рад. А вон сидит в кресле другой мой друг - капитан Джеймс Кук, а возле глобуса стоит Дюмон Дюрвиль, а там, у окна, Лазарев... Все мои друзья - безупречно храбрые и благородные сердцем люди.

"А где твои родители, Генаша?" - спрашивал адмирал.

Геннадий тогда включал радиоточку, и она сразу же сообщала женским голосом: "Новости спорта. Вчера группа альпинистов во главе с известным спортсменом Эдуардом Стратофонтовым приступила к покорению очередного безымянного семитысячника на Памире". И мужским голосом:

"Мастер парашютного спорта Элла Стратофонтова идет на побитие мирового рекорда американки Мерилин Бушканец".

Адмирал одобрительно качал головой.

Вечерами Геннадия навещала Унг-Ма, супруга вождя дружественного племени, точнее, соседка Полина Сергеевна. Она кормила мальчика печеными крокодильими яйцами, дюгоньим молоком, дикой козлятиной. После ее визита Геннадий читал "Водители фрегатов" и энциклопедию, совершенствовался в английском языке, а потом отправлялся в далекую экспедицию, то есть в постель. Утром он самостоятельно уходил в детский сад, в свою группу, которую снисходительно

называл в письмах к родителям "моя малы-шовка".

Иногда под окнами Стратофонтовых останавливался "газик", из него выпрыгивала затянутая в голубую форму Аэрофлота бабушка. Геннадий очень любил свою бабушку. Та пылала к нему еще более сильным ответным чувством. Друзья могли часами сидеть на диване и беседовать. Бабушка рассказывала внуку о горячих денечках, о воздушных боях над Кенигсбергом и Берлином, знакомила его с новой техникой, а внук пересказывал бабушке прочитанные книги.

Наконец, когда Геннадию перевалило за шесть, на Памире и Тянь-Шане не осталось безымянных семитысячников. Вернулся папа. Мировой рекорд заносчивой американки был побит путем приземления точно в крест с высоты 22 000 метров. Вернулась мама. Управление ГВФ в торжественной обстановке проводило на заслуженный отдых бабушку. Семья зажила дружно и содержательно.

Время шло. Геннадий успешно овладевал школьной программой, увлеченно работал в пионерской организации, много времени уделял искусству и спорту. Может составиться впечатление, что он был совершеннейшим пай-мальчиком, эдаким занудой-тихоней, образцово-показательным любимчиком педагогов. Должен прямо сказать, что такое впечатление было бы неверным. Ничто человеческое было ему не чуждо. Он никогда не отказывал себе в удовольствии трахнуть портфелем по голове какого-нибудь юного прохвоста, обидевшего одноклассницу Наталью Вертопрахову, часами мог мять в снегу наперсника детских забав Вальку Брюквина - словом, он рос совершенно нормальным мальчиком. Успехи же его были вызваны недюжинными способностями и поразительной увлеченностью, с которой он подходил к каждому делу. Сверстники любили Геннадия за живой нрав, обширные знания и успехи в спорте. У него было много друзей и среди взрослых - почтовые работники и библиотекари, альпинисты и парашютисты, военнослужащие. Кроме того, у него было несколько заочных знакомств за пределами нашей страны. Пользуясь своим блестящим английским, Геннадий поддерживал постоянную переписку с мальчиками из Великобритании, Нигерии,

Новой Зеландии, Танганьики...

Надо сказать, что к двенадцати годам Геннадий перешел уже к классической литературе. Властителями его дум стали Пушкин и Гёте, Толстой и Шекспир. Зачитанная до дыр "Библиотека фантастики и приключений" к тому времени покрылась тонким слоем пыли, и все-таки иногда юный эрудит останавливался перед портретом предка и тихо беседовал с ним о своих друзьях, водителях фрегатов, о тихоокеанских атоллах, о схватках с пиратами, о морских глубинах...

Года за два до того как начались главные события этой книги, Геннадий, ему шел тогда одиннадцатый год, познакомился с Николаем Рикошетниковым. Произошло это в Доме культуры промкооперации на сеансе одновременной игры против гроссмейстера Михаила Таля.

Гроссмейстер нервничал. Почти не думая, он делал ходы, то и дело тревожно поглядывая на лобастого симпатичного мальчика в белом свитере, сидящего за десятой доской.

"Неужели он примет жертву? - думал Таль, покусывая тонкие губы.- Боже мой, неужели он примет жертву?" - Примете жертву? - спросил Геннадия сосед слева. Геннадий посмотрел на него. Это был мужчина лет 27- 30, с худым и до черноты загорелым лицом, с умными и очень живыми глазами, с небольшим шрамом на лице возле носа. Одет он был в обыкновенный серый костюм, но на левой руке у него были массивные часы странной треугольной формы, а правую руку, слегка прикрывая большой разветвленный шрам, обхватывал браслет, сделанный то ли из ракушек, то ли из зубов какой-то глубоководной рыбы.

"Любопытный молодой человек",- подумал Геннадий и ответил:

- Да,приму.

- Не кажется ли вам, что здесь таится ловушка? - спросил сосед.- Вы же знаете эти жертвы Таля. Как начнет потом шерстить!

- Я все продумал,- спокойно сказал Геннадий.- Никакой ловушки нет.- Он мельком взглянул на позицию соседа.- А вот вам грозит мат.

- Как?! Где?! Не может быть! - воскликнул сосед, судорожно оглядел позицию и прошептал: - А ведь верно...

- Спрячьте пешку е-7 в карман,- посоветовал ему из-за плеча Геннадия сизоносый дородный мужчина, от которого исходил какой-то странный, совершенно незнакомый мальчику запах. Так пахнет, должно быть, смесь одеколона и вчерашнего винегрета.

Геннадий возмущенно посмотрел ему прямо в глаза.

- Как же вам не стыдно?! - ломким голосом воскликнул он.- Ну как вам не стыдно? А еще мастер спорта!

Сизоносый под его взглядом запыхтел, покрылся пятнами, опустил голову, прикрыв трехэтажным подбородком мастерский значок, и вытащил из кармана две талевские пешки, коня и ладью.

- Возвращается,- шепнул Геннадию сосед слева.

Геннадий повернул голову и поймал обращенный к нему жгучий тревожный взгляд экс-чемпиона мира. Быстро делая ходы, Таль приближался к Геннадию. В зале слышались глухие рыдания побежденных и звонкий смех редких счастливцев, сделавших ничью. Матч на ста досках близился к концу, Геннадий снял пешкой белого ферзя и спокойно стал ждать.

- Вам мат,- торопливо сказал Таль сизоносому, шагнул к Геннадию, окинул взглядом доску, вздрогнул и, глубоко заглянув в глаза мальчику, прошептал: - Поздравляю с победой.

В зале поднялся ужасающий шум. Таль стоял, опершись на стол, и покачивался то ли от усталости, то ли от огорчения. Сосед слева крепко пожал руку Геннадию;

- Какой вы молодец! Поздравляю!

В гардеробе загорелый сосед подошел к Геннадию. Был он уже в замысловатом кожаном полупальто с многочисленными "молниями" и в рыжей забавной кепочке.

- Еще раз хочу выразить вам свое восхищение,- сказал он и представился; - Рикошетников Николай Ефимович.

- Геннадий Стратофонтов,- отрекомендовался наш герой.

Они вместе вышли на улицу. Здесь их обогнал сизоносый. Обернувшись, он смерил Геннадия уничижительным взглядом и хохотнул вызывающе:

- Тоже мне! Яйца курицу учат! А ведь, наверное, пионер!

Смех его был надменным и грубым, но в нем также чувствовалась обида и тоска. Кто знает, сколько надежд связывал этот человек с сегодняшним матчем!

Николай Рикошетников тут же взял его за локоть своей железной рукой.

- Немедленно извинитесь.

- Немедленно извиняюсь,- сразу же сказал сизоносый и неуклюже потопал к гастроному.

Геннадий и Николай Рикошетников медленно пошли по Кировскому проспекту к Неве.

- Стратофонтов...- проговорил Николай,- Вы знаете, что был такой путешественник Стратофонтов?

- Это мой предок,- сказал Геннадий.- Его портрет висит у нас дома.

- Вот это удивительно!-воскликнул Николай.-Ведь адмирал Стратофонтов был любимым героем моего детства. Никогда не забуду описание его битвы с эскадрой Рокера Буги! Может быть, благодаря Стратофонтову я и пошел в мореходку?

- А вы моряк?

- Да. Я капитан научно-исследовательского судна "Алеша Попович".

Сердце Геннадия часто забилось.

- Да вы же, наверное, избороздили всю Океанию?

- Да, избороздил,-скромно ответил Николай.

Падал мягкий снег. Он покрыл уже скаты и парапеты Петропавловской крепости, тротуары и перила моста.

Внизу колыхалась тяжелая невская вода. За Дворцовым мостом мигали огни

большого крейсера, явившегося в город на Октябрьские праздники.

- Ну, а я просто школьник, - сказал Геннадий.

- Я догадался,- сказал Рикошетников.- Сейчас вы, Геннадий, просто школьник, но кто знает, может быть, со временем будете чемпионом мира.

- О нет, шахматная карьера меня не прельщает.

- Не обязательно по шахматам, может быть, и по другому виду спорта.

- В раннем детстве...- сказал Геннадий и взглянул на капитана, не усмехнется ли он. Нет, Рикошетников и не думал усмехаться. Чуть склонив голову, он предупредительно и серьезно слушал выдающегося мальчика. - ...В раннем детстве я мечтал стать моряком, - продолжал Геннадий.- Путешественником, как мой предок. Я, можно сказать, бредил Океанией. Но согласитесь, Николай Ефимович, какой смысл сейчас становиться путешественником? Ведь все уже давным-давно открыто, исследовано. Море стало вполне обычным... Эх, надо бы мне родиться хотя бы в XIX веке, а еще лучше в XVII!

- Вы и правы и неправы,- задумчиво проговорил Рикошетников- Конечно, сейчас острова не откроешь, и лайнеры пересекают Атлантику за пять дней точно по расписанию. Но знаете, Гена, океан остается океаном, и все моряки это понимают. Он так огромен... у него непонятный характер... с ним шутить нельзя. Даже гигантские атомные субмарины иной раз пропадают в нем без следа. Вспомните "Трешер"!

Знаете, иной раз стоишь ночью на мостике, смотришь в море, и начинает даже какая-то чертовщина мерещиться, кажется, что там, под тобой, на страшной глубине, есть какая-то совершенно неизвестная и недоступная даже воображению жизнь. Большие глубины, Гена, практически ведь еще не исследованы.

Год назад мы работали милях в двухстах к востоку от архипелага Кьюри. Утром как-то выхожу на палубу - батюшки! - прямо под бортом метрах в десяти чудовищная рыба величиной со слона. Ярко-красная и будто светящаяся изнутри.

Плывет на поверхности, таращит жуткие буркалы, как будто бы пощады просит. Потом переворачивается на брюхо, и точка. Подняли мы ее на палубу. Наш главный ихтиолог чуть в обморок не упал. "Глазам своим не верю! - кричит.- Это же рыба намадзу!" Оказалось, что это полумифическая глубоководная рыба, существование которой ученые подвергали сомнению. В японских старых книгах говорится, что рыба намадзу предвещает землетрясение. Всплывает на поверхность и подыхает. Ученые считают это чистым вымыслом. Но между прочим, Гена, через три дня на Кьюри было сильное землетрясение...

- И вы попали в шторм? - спросил Геннадий.

- Ну нет! - засмеялся Николай.- Капитан Рикошетников уважает мифологию. Мы вовремя драпанули к Большим Эмпиреям.

- Большие Эмпиреи! - воскликнул Гена.- Да ведь это же...

- Совершенно верно,- сказал моряк.- Именно в районе этого архипелага началась многодневная битва "Безупречного" с пиратской эскадрой.

- Это чудовище Рокер Буги беспощадно грабил островитян! - гневно сказал Геннадий и сжал кулаки.- Он хотел свить на Эмпиреях свое гнездо.

- Не вышло! - выкрикнул Николай.

Капитан и школьник остановились возле памятника Суворову, посмотрели друг другу в глаза и обменялись крепким рукопожатием.

...Ядро пробило фальшборт, шипящим яростным дьяволом прокатилось по палубе, калеча людей, разрушая предметы.

- Разрешите открыть огонь? - дрожа от возбуждения, спросил лейтенант.

- Еще не время,- спокойно проговорил командир. Русский клипер несся по узкому проливу вслед за пиратской эскадрой. Расстояние между ним и тремя неуклюжими, но сильно вооруженными барками неумолимо сокращалось...

- Он правильно сделал, что отрезал "Блу Вэйла" от двух других судов,- сказал Николай Рикошетников.

- А потом накрыл его залпом правого борта,- продолжил Геннадий Стратофонтов.

...Гром канонады висел над прозрачными до самого дна прибрежными водами. Потревоженные осьминоги вылезали из темных расселин. Дельфины возбужденно прыгали между водяных столбов, удивляясь веселой игре, затеянной их старшими братьями. Жители Больших Эмпиреев живописными группами толпились на прибрежных скалах, наблюдая, как стремительный белокрылый корабль расправляется с их обидчиками, явившимися словно призраки кровавого XVI столетия в их просвещенный XIX век...

- Вот так-то, мистер Рокер Буги,- прошептал Геннадий.-Вот так-то. А ведь вы могли бы быть неплохим моряком.

- По некоторым источникам, капитану Буги удалось спастись,- сказал Николай.- Говорят, что он провел остаток своих дней на острове Карбункл.

Рокот мощного мотора вернул собеседников в наши дни. Возле памятника Суворову остановился автобус, и из него с беззаботным смехом вывалилась группа иностранных туристов. Щелкая аппаратами, куря табак, жуя и жужжа, европейцы подошли к памятнику полководцу, который в былые дни немало потрепал их пращуров. Внимание Геннадия и Николая привлек один из туристов, рослый сильный мужчина лет сорока. Пальто из дорогого твида обтягивало мощный торс, тяжелые, так называемые "вечные" ботинки оставляли в пушистом снегу широкие следы по меньшей мере сорок четвертого размера.

Чрезвычайно крупные черты лица, банановидный нос, мохнатые гусеницы бровей, похожий на утюг подбородок находились в странном противоречии с единственной изящной деталью - аккуратно подбритыми усиками.

Держась несколько в стороне от группы, мужчина подошел к памятнику, осмотрел его, неопределенно улыбнулся. Под тонкими усиками мелькнул золотой зуб. Внимательные холодные глаза остановились на капитане и мальчике, чуть расширились, как у застывшего перед прыжком хищника, потом отъехали в сторону. В поисках сигарет мужчина похлопал себя по карманам, расстегнул пальто, и в мутном свете фонарей мелькнула галстучная заколка в виде лопаты с припаянной к черенку старинной монетой, похожей на испанский дублон XVI

века. Щелкнула газовая зажигалка, и к запаху дорогого одеколона прибавился другой, странный сладковатый, немного дурманящий запах.

"Сигареты с марихуаной",-догадался Николай Рикошетников. Капитан и школьник двинулись дальше. Отойдя несколько шагов от памятника, они, не сговариваясь, одновременно оглянулись.

В руке у незнакомца уже была плоская фляга толстого стекла. Недобро улыбаясь, он смотрел на все, что дорого каждому ленинградцу, каждому советскому человеку, да и просто человеку доброй воли,- на шпиль Петропавловки, на ростральные колонны, на арки мостов.

- На редкость неприятный человек,- сказал Геннадий. У него еще в раннем детстве выработалась одна весьма полезная привычка: некоторые мелькающие в толпе лица он усилием воли фиксировал в своей памяти. Так и сейчас: он прищурился на неприятного незнакомца, как бы сфотографировал его на всякий случай.

Этот вечер капитан провел в кругу семьи Стратофонтовых. Родители Геннадия, Элла и Эдуард, а также бабушка Мария Спиридоновна очаровали моряка. Он сразу угадал в новых знакомых людей своего круга, людей большого риска, безграничной храбрости и благородства. Так началась дружба капитана научно-исследовательского дизель-электрохода "Алеша Попович" с потомками адмирала Стратофонтова и прежде всего с всесторонне одаренным школьником Геной

Под влиянием этой дружбы Геннадий вступил в клуб "Юный моряк" и вскоре стал там одним из первых активистов. Он научился обращаться с секстантом и гирокомпасом, прокладывать курс на штурманских картах, разбираться в лоциях, в международном своде сигналов, грести, нырять с аквалангом...

Возвращаясь из своих дальних рейсов, Рикошетников немедленно являлся к Стратофонтовым. О, эти прекрасные вечера под медной люстрой, под благожелательным голубым взглядом адмирала! О, эти рассказы о трудной морской работе, о далеких портах Ла-Валетта, Дубровник, Джакарта, Перт, о

дружбе и силе духа!

Между тем шли недели, месяцы и даже годы. Весной 196... года, когда Геннадий окончил шестой класс, капитан Рикошетников прилетел в Ленинград из дальневосточного порта Находка.

- Сильно оброс "Попович" морскими желудями,- объяснил он.- Поставили его в док почиститься, чтобы не обижался.

Бабушка Стратофонтова в это время с невероятным упорством сооружала большой кремовый торт в честь своего любимца. Руки ее, непривычные к женскому труду, плохо осуществляли грандиозный замысел, но, как говорится, терпение и труд все перетрут, и вскоре мужчины общими усилиями водрузили на стол кремовое чудовище, похожее на контрольную башню аэродрома,

- Куда же вы теперь собираетесь, Николай? - спросила мама Элла, когда башня была уже срыта до основания.

Рикошетников смущенно хмыкнул и, глядя в скатерть, проговорил:

- Представьте себе, друзья... как это ни странно, но... все это лето мы будем исследовать прибрежный шельф в районе архипелага Большие Эмпиреи...

- Я! - вскричал при этих словах Геннадий и осекся.

- Что?! - вскричала бабушка и сжала под столом скатерть.

За столом воцарилось молчание, нарушаемое лишь сильным стуком Генашиного сердца. Потом все медленно повернулись к портрету адмирала. Адмирал мягко, отечески улыбнулся. Похоже было, что он все уже знал наперед.

- А почему бы и нет? - проговорил папа Эдуард, вспомнив горы.

- Я - "за"! - коротко сказала мама Элла, вспомнив небо.

- Двух мнений тут не может быть!-покрывшись холодным потом, заявила Мария Спиридоновна и вспомнила все.

- В принципе это возможно, если будет ходатайство вашего клуба,- почесав затылок, сказал Геннадию Николай Рикошетников.

Через неделю после этого разговора новоиспеченный моряк Геннадий Стратофонтов в 17 часов 47 минут на набережной имени Кутузова совершенно

случайно встретил одноклассницу Наташу Вертопрахову, надменное существо, чем-то напоминающее морского конька.

Наталья была целеустремленной девочкой, каждый час ее был расписан по минутам, и ежедневно ее можно было случайно встретить на набережной Кутузова в по пути из секции художественной гимнастики.

- А-а, Наташка,- рассеянно сказал Геннадий и остановился.- Привет-привет! Как дела?

- Ничего себе,- ответила Наташа, не прекращая движения,- Работаю по программе мастеров.

- Соревнования скоро?

- Ох и не говори! Волнуюсь страшно! В начале июня наша команда едет в Краков. Представляешь, в Краков?!

- А я к Большим Эмпиреям подаюсь, на все лето в экспедицию,- сказал Геннадий.- На судне "Алеша Попович"...

- Пожелай мне ни пуха ни пера,- сказала Наташа и протянула ему руку.

Он посмотрел в синие глаза и увидел там только пьедесталы почета и неверное мерцание будущей славы.

- Ни пуха ни пера,-пробормотал он.

- К черту! - с чувством сказала Наташа и стала стремительно удаляться.

Геннадий некоторое время смотрел ей вслед, потом отвернулся и едва не был сбит с ног бегущим Валькой Брюквиным.

- Валька, а я к Большим Эмпиреям подаюсь на "Алеше Поповиче"! - крикнул Геннадий, хватая его за плечи.

- Да? Ну счастливо! - Брюквин вырвался.- Приедешь - расскажешь!

Не первой свежести подметки наперсника детских забав некоторое время еще мелькали перед недоуменным взором Геннадия, а потом растворились в предвечернем золотистом свечении, свойственном только одному городу на земле - Ленинграду.

На этом можно закончить вступительную главу. Впрочем... нет, я совершенно

забыл сообщить любезному читателю об одном на первый взгляд пустяковом случае. Дело в том, что дня через три после первой встречи Геннадия и Николая Рикошетникова на адрес Стратофонтовых пришло странное письмо. На бланке гостиницы "Астория" крупно было начертано несколько слов:

"Mr. Stratofontov, esq.

I`LL never forget the Silver-bay. R. B."

Папа Эдуард отправился тогда в "Асторию", чтобы выяснить, кто скрывался под псевдонимом "Р. Б.". В книге гостей значились:

"Рикардо Барракуда,

Рональд Бьюик,

Ростан Бизе,

Рао-Бзе-Бун,

Раматраканг Бонгнавилатронг,

Рихард Бурш

и Ростислав Боченкин-Борев".

Все эти лица категорически отрицали свое авторство. Эдуард, пристыженный, покинул "Асторию", решив, что это розыгрыш друзей почтмейстеров или альпинистов.

ГЛАВА II,

в которой слышится рев шторма, безобразно хлюпает сваренный накануне борщ, а в конце под пение скрипки булькает суп из каракатицы

Невероятно, но факт: нос, казалось бы, окончательно утонувшего танкера вновь показался над водой.

Еще несколько минут назад рулевая рубка "Алеши Поповича" огласилась взволнованным криком Геннадия Стратофонтова:

- Он тонет! Николай Ефимович, танкер тонет! SOS! На помощь!

И впрямь: шедший с ними параллельным курсом японский танкер довольно

быстро уходил носом иод воду, пропадал в огромных волнах.

Вот уже наполовину скрылись под водой надстройки, вот уже только труба с размытым пятном иероглифа виднеется над водой...

- Николай Ефимович! - в отчаянии закричал тогда Геннадий и вдруг заметил, что все находящиеся в рубке смотрят на него с улыбкой: скалил отменные зубы рулевой Барабанчиков, улыбался старпом Дивнолобов, тактично прятал улыбку в пышные усы научный руководитель экспедиции член-корреспондент Академия наук, профессор Шлиер-Довейко.

Капитан Рикошетников, сидевший на высокой табуретке возле штурманского стола, повернулся к юному лаборанту гидробиологической лаборатории (именно в этой должности Гена Стратофонтов совершал путешествие к местам фамильной славы) и тоже улыбнулся.

- Не волнуйся, Гена, он не тонет. Просто сильная килевая качка. Оттуда, с танкера, кажется, что мы тонем

- А мы пока не тонем! - довольно глупо захохотал Барабанчиков и подмигнул Геннадию.

Нос танкера медленно, но упорно полз вверх; вот показалась верхняя палуба борта, и мелькнувшее на мгновение среди бешено несущихся туч солнце осветило все невероятно длинное тело гиганта.

Уже двое суток десятибалльный шторм трепал "Алешу Поповича". Он налетел среди ночи через два часа после выхода из бухты Находка, к утру набрал полную силу и больше уже не ослабевал в течение всего времени, пока "Попович" пересекал Японское море, держа курс на Суранамский пролив.

Геннадий, разумеется, за это время ни разу не прилег. Во-первых, это был его первый выход в море, во-вторых, первый в его жизни шторм, да еще и какой - десятибалльный! Вот ведь чертовское везение! Геннадий, весь в синяках, от стенки к стенке, падая в тартарары и вздымаясь под небеса вместе с палубой, облазил все судно. Конечно, забраться на койку ему мешало жгучее любопытство, но, кроме того, он опасался, как бы не поймала его в

горизонтальном положении морская болезнь, как бы сосед по каюте, судовой плотник Володя Телескопов, не стал свидетелем позора.

Пока все было, как говорится, о'кэй! Глядя с ходового мостика на вздымающуюся перед "Поповичем" чудовищную, дымящуюся водяною пылью стену, Геннадий только лихо посвистывал сквозь до боли сжатые зубы. Нервы у него сдали лишь тогда, когда он увидел "тонущий" танкер.

Теперь все было кончено. Теперь все, весь экипаж, узнают, что потомок знаменитого адмирала на самом деле слабохарактерный салажонок, и ничего больше. Глубоко удрученный, Геннадий выскользнул из рулевой рубки, кубарем слетел вниз по трапу на вторую палубу, побежал по длинному, тускло освещенному коридору мимо кают, за дверьми которых слышались слабые стоны ученой братии, налег плечом на стальную дверь...

В лицо ему с невероятной силой ударил ветер. Судно в это время кренилось на правый борт, и страшная вихревая пучина была совсем рядом. Ударила какая-то партизанствующая волнишка величиной с кита, накрыла палубу, потащила Геннадия к фальшборту. Руки мальчика судорожно вцепились в планшир.

"Попович" медленно выпрямился. Вода, клокоча, уходила в портики. Геннадий сделал несколько шагов к корме и уцепился в стойку. Он оказался в середине судна, как бы в центре раскачивающейся доски. Здесь качка чувствовалась меньше. "Попович" зарывался носом, а корма быстро шла вверх, закрывая полнеба. Вот по всему корпусу прошла сильная дрожь - это обнажился винт.

"Позор,-думал о себе Геннадий.-Закричал, как заяц, как первоклашка! Нет чтобы процедить сквозь зубы: "Не кажется ли вам, товарищи, что танкеру справа угрожает опасность?.."

Метрах в десяти к носу от Геннадия распахнулась дверь камбуза, и два чумазых артельщика выволокли на палубу огромный котел со вчерашним борщом Нельзя сказать, что во время шторма экипаж "Алеши Поповича" отличался повышенным аппетитом. Артельщики, поднатужившись, подняли котел и вывалили его дивное содержимое за борт.

Вслед за этим произошло странное событие. Борщ, наваристый янтарно-багрово-зеленоватый борщ, не ухнул, как ему полагалось, в пучину, а в силу каких-то необъяснимых аэродинамических вихревых причин повис на несколько мгновений в воздухе. Больше того, он уплотнился и висел теперь перед Геннадием громадным переливающимся шаром с жировой бородой Янтарные капли уже долетели до лица юного лаборанта.

"Вот борщ,-медленно подумал Геннадий.- Вот вчерашний борщ, и он висит. Ой, нет - он движется! Он, он движется прямо на меня! Ой!"

Борщ, повисев в воздухе несколько мгновений, ринулся на Геннадия. Вскрикнув от ужаса, мальчик бросился наутек к корме. Артельщики, разинув рты, наблюдали эту невероятную сцену. Геннадий со скоростью спринтера бежал к корме Борщ настигал его со скоростью мотоцикла.

Гена уже чувствовал за своей спиной нехорошее дыхание борща. Собрав все силы, он сделал рывок, вырвался из-под навеса, вильнул влево и спрятался за спасательной шлюпкой, уцепившись за леера. Борщ, вылетев из-под навеса, взмыл вверх. Спустя минуту Гена, вообразив, что опасность миновала, выполз из-за шлюпки. Борщ, однако, не улетал. Снова найдя мертвую точку среди безумных воздушных струй, он висел теперь прямо над незадачливым лаборантом. Потрясенный и загипнотизированный, Гена уже не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Несколько мгновений спустя борщ, обессилев, рухнул ему на голову.

А теперь, дорогой читатель, попробуй поставить себя на место моего героя. Вообрази себя потомком великого путешественника, человека широких передовых взглядов; вообрази себя лучшим питомцем "Клуба юных моряков", Победителем Таля, другом капитана Рикошетникова; вообрази, что ты совершаешь первое в своей жизни морское путешествие к архипелагу фамильной славы и представь себя сидящим на палубе в центре огромного, жирного, хлюпающего борща; представь себя с короной из прокисшей свеклы на голове, с омерзительной капустной бородой, с карманами, полными говядины и картофеля. Мне бы

хотелось, чтобы ты, читатель, содрогнулся от ужаса, а затем по достоинству оценил мужество и силу духа моего юного героя.

Геннадий не заплакал, не бросился к борту топиться. Встав из борща, он подошел вплотную к потрясенным артельщикам и процедил сквозь зубы:

- Забыть раз и навсегда! Ничего не было. Понятно? Артельщики, дрожа, смотрели на героического мальчика.

- Об чем разговор, Гена,- наконец пробормотал один из них.

- Может быть, вам смешно? - звенящим голосом спросил Геннадий.

- Чего же туг смешного, Генок? - проговорил второй.- Плакать хочется.

Он действительно всхлипывал. Такого зрелища, погони вчерашнего борща за живым человеком, он не видел никогда раньше и не увидел позже до сего дня.

Геннадий резко повернулся и стал спускаться по трапу.

Сосед Геннадия по каюте, плотник высшего разряда Володя Телескопов, как и большинство обитателей "Алеши Поповича", летал в это время на своей койке вверх-вниз, влево-вправо, читал "Сборник гималайских сказок", хохотал и покрикивал:

- Вот дает! Вот дает!

Неизвестно, к чему относилось это выразительное восклицание - к шторму ли или к гималайскому фольклору.

- Эге, Генка, поздравляю! - приветствовал он вошедшего в каюту Геннадия.- Я вижу, тебя борщ догнал!

- Ха-ха-ха! - нервным мужественным хохотом расхохотался мальчик.- Представьте себе, Владимир, вы близки к истине.

~ Это что! У нас как-то раз в Чугуевском карьере Мари-ка Ибатуллина суп с клецками догнал,- оживленно заговорил Телескопов.- А самый, Генаша, уз-жаст-ный случай был в Клайпеде, когда Мишку Офштейна лапша накрыла.

- Значит, это не первый случай в мировой практике? - ободрившись, спросил Геннадий.

- Отнюдь не первый! - закричал Телескопов. Он на минуту задумался, а

потом уверенно сказал: - Третий случай.

Измученный мальчик погрузился в глубокий сон. Он спал много часов подряд и не видел, как опустились сумерки, как "Попович" вошел в Суранамский пролив, как утих шторм и как утром открылся залитый солнцем, мерно вздыхающий и словно подернутый тонкой пластиковой пленкой Тихий океан. Не видел он и маленьких японских шхун, с которых рыбаки в ярких куртках тянули невидимые лески. Они были похожи на фокусников или волшебников, эти рыбаки, и казалось, что серебристые извивающиеся рыбины выскакивают из воды прямо к ним на палубу, подчиняясь их резким таинственным пассам. Геннадий, к сожалению, этих рыбаков не видел, как не видел и множества встречных судов и чудовищной громадины американского авианосца "Форре-стол", что не солоно хлебавши ковылял домой от берегов Вьетнама.

Проснулся Геннадий только под вечер, когда по судовой трансляции раздался металлический голос:

- Внимание! Наше судно находится при подходе к акватории Иокогамского порта. Палубной команде занять места по швартовому расписанию. Повторяю...

Багровый закатный туман висел над Иокогамой, а над этим туманом в высоком прозрачном небе четко вырисовывалась верхушка священной горы Фудзи.

- Добрый знак,- прогудел боцман Полуарканов.- Етта штука, Фудзи,етта окаянная, раз в год по обещанию показывается морскому человеку.

Этот внешне спокойный, мнимо уравновешенный человек верил во все приметы и предзнаменования, начиная от черной кошки, кончая трамвайным билетом. Однако он очень редко обнародовал свои суеверные наблюдения. Сохраняя обманчивую невозмутимость, Полуарканов предпочитал страдать или тешить себя надеждой в глубине души. И вот только сегодня, увидев поразительное, подобное чуду явление Фудзи, он нарушил свое правило. Очень уж обрадовался боцман, что великая Фудзи благословила их рейс и предсказала ему счастливое завершение. Если бы знал Ар-кадьич, через какие испытания придется пройти людям с "Алеши Поповича" для того, чтобы это предзнаменование оправдалось!

Два мощных портовых буксира медленно подводили "Але-шу Поповича" к причалам. Воспользуемся этой не очень интересной, но необходимой процедурой для того, чтобы сообщить читателю некоторые данные об этом славном судне.

"Алеша Попович" был еще совсем молод. Всего лишь четыре года назад он был спущен со стапелей судостроительного завода в городе Гдыня. Польские корабелы очень гордились своим детищем. При водоизмещении немногим более 6000 тонн "Попович" обладал машинами мощностью 10000 лошадиных сил, что позволяло ему развивать скорость до 25 узлов. Он был устойчив на курсе и обладал отличной поворотливостью. Нечего и говорить о том, что "Попович" от форпика до ахтерника был напичкан самым современным оборудованием, подчас даже и не особенно нужным.

У Геннадия даже глаза разбежались, когда он впервые поднялся на рулевую рубку. Непосвященному могло бы показаться, что он попал в обстановку научно-фантастического романа, но наш "юный моряк" с восхищением угадал в замечательнейших предметах пульт дистанционного управления главными двигателями, репитеры гирокомпаса, экран локатора и радиопеленгатор, эхолот и аксиометр...

На судне были созданы прекрасные условия для Труда и отдыха экипажа. Отличные каюты помещались в палубных надстройках, а в твиндеках располагались научные лаборатории и кладовые. Надо сказать, что за четыре года экипаж "корабля науки" не претерпел почти никаких изменений. Так получилось, что коллектив сложился сразу. Все эти мужественные люди, что называется, "притерлись" друг к другу. Атмосфера веселой дружбы царила на "Алеше Поповиче". Надо ли говорить о том, что все моряки и ученые любили своего молодого капитана Рикошетникова и научного руководителя - пожилого гиганта, видавшего виды Шлиера-Довейко? Надо ли говорить о том, что этих двух людей связывало взаимное уважение?

Только лишь перед выходом в рейс к Большим Эмпиреям на борту "Поповича" появились два новых человека. Рико-шетников привез из Ленинграда своего

друга школьника Стратофонтова, а Шлиер-Довейко вывез из глубины Среднерусской возвышенности мастера на все руки Телескопова. Коллектив, посовещавшись, принял новичков с распростертыми объятиями.

Между тем сгустились сумерки, растворилось волшебное видение Фудзи и марево разноцветных неоновых огней затрепетало над огромной Иокогамой и необозримым Токио.

Уже заведены были носовой и кормовой продольные швартовы, шпринги и прижимные, когда на верхнюю палубу вышел из своей каюты капитан Рикошетников. Он только что закончил необходимые формальности с японской таможенной службой, с пограничниками и карантинными врачами и теперь собирался отправиться в город. Ему предстояло нелегкое путешествие по Токио: надо было найти генеральное консульство Республики Большие Эмпиреи и Карбункл.

Рикошетников огляделся и увидел, что палуба почти пуста. Иногда по ней деловито пробегали члены экипажа с утюгами или галстуками в руках. Все моряки и ученые "Алеши Поповича" уже далеко не первый раз бывали в Токио и сейчас готовились к встречам со своими японскими друзьями и родственниками. Одна лишь маленькая фигурка одиноко сидела на кнехте и задумчиво смотрела на гигантский таинственный город.

Рикошетников, разумеется, уже знал о плачевном эпизоде с борщом на подходе к Суранамскому проливу. Нет, артельщики оказались джентльменами и не сказали ни слова. Обо всем капитану, задыхаясь от смеха, доложил сменившийся с вахты рулевой Барабанчиков, которого в свою очередь навел на место происшествия судовой кот Пуша Шуткин. Рикошетников, разумеется, сам в душе чуть не лопнул от смеха, вообразив погоню ВЧЕРАШНЕГО борща за ЖИВЫМ человеком, но усилием воли сохранил невозмутимость и категорически предложил Барабанчикову и Пуше Шуткину хранить молчание хотя бы в память русских морских традиций.

Сейчас, увидев одинокую фигурку своего друга, Рикошетников не смог

сдержать чувства жалости и сочувствия. Он и не подозревал, что душа Геннадия в эти миги была полна ликованием.

"Ух ты, Япония, Токио, Иокогама! - думал в эти миги Геннадий.- Вот я сижу на баке корабля, и вот передо мной загадочный вечерний город с одиннадцатимиллионным населением. Увидели бы меня сейчас наши ребята с улицы Рубинштейна - Валька Брюквин или Наташка Вертопрахова! Смотри, Наташа, юнга Билл еще вернется из Северной Канады..."

Да, Япония была перед ним, и до нее можно было дотронуться пальцем, можно было полежать на ней, попрыгать или просто по ней пройтись. И неужели же, неужели даже совершенно фантастические Большие Эмпиреи вот так же реально скоро предстанут перед ним?

Геннадий был, конечно, вполне здравомыслящим мальчиком, но все-таки очень долго не покидала его мысль о том, что разные другие страны существуют только в книгах и в кино, что взрослые все это выдумали для того, чтобы детям не так скучно было учить географию

- Геннадий, не хотите ли сходить со мной в город- спросил Рикошетников.

Геннадий, ликуя и подпрыгивая в душе, спокойно изъявил согласие.

Они спустились по трапу, прошли по причалу и вошли в здание морского порта, где по стеклянным коридорам двигались вереницы пассажиров из обеих Америк, Австралии, Азии, Океании и Европы, пересекаясь на разных этажах и сливаясь в огромном зале в гудящую пеструю толпу

Рикошетников уверенно пробрался сквозь толпу к кон торе автопрокатной компании "Херц" и арендовал там двухместный скоростной автомобиль "бентли". Через полчаса друзья уже мчались к Токио по висящей над сонмом маленьких домиков бетонной автостраде.

Центр Токио - это горная страна из стали, алюминия и стекла, а весь Токио - это равнина маленьких двух- и одноэтажных домиков. Если какой-нибудь житель столицы пригласит вас, милый читатель, в гости, он обязательно нарисует для вас схему своего квартала, укажет стрелочкой свой дом,

пунктиром отметит путь от магистрали в глубинку. Дело в том, что в Токио нет улиц, вернее, улицы не имеют названий. Названия имеют только кварталы и районы. Когда говорят: главная улица Гиндза - это неверно. Нет улицы Гиндза, есть район Гиндза.

Разобраться в этой системе непривычному человеку чрезвычайно трудно.

Проколесив битый час по наполненным людьми и машинами улочкам района Синдзюко, Рикошетников и Страто-фонтов потеряли надежду найти консульство нужной им республики.

Полицейские и прохожие, услышав название "Большие Эмпиреи и Карбункл", почему-то начинали безумно хохотать и так слабели от смеха, что толку добиться было трудно.

Рикошетников махнул было уже рукой, как вдруг при павший к ветровому стеклу Геннадий воскликнул:

- Остановитесь, Николай Ефимович!

Рикошетников резко затормозил. Перед ним был ничем не примечательный двухэтажный домик в четыре окна, от тротуара до крыши покрытый светящимися и несветящимися вывесками. Вывески гласили:

Уроки игры на скрипке!

Европейская, японская, окинавская и индийская кухня!

Филателист, стой! Здесь самые редкие марки!

Секреты вечной молодости!

Гадаем по руке!

Бокс, дзю-до, каратэ!

Сувениры на любой вкус!

Продажа кактусов, раковин и камней!

Певчие птицы и меха!

Парижская косметика, лондонские запонки, носки из Чикаго!

Подводные зажигалки и инфракрасные очки!

А между гирляндой чикагских носков и чучелом филина на освещенной витрине

этого обычного токийского домика помещалась маленькая, с почтовую открытку, эмалированная табличка:

Консульство Республики Большие Эмпиреи и Карбункл.

Рикошетников и Геннадий вошли в дом и оказались в небольшом зальчике, стены которого были увешаны самурайскими мечами, масками театра "НО", панцирями гигантских черепах, челюстями и мослами непонятных животных. Полки были заставлены старинными фолиантами с медными застежками, банками с маринованными чудищами, кактусами, раковинами и камнями. В конце зальчика обнаруживалась стойка и четыре высоких стула перед ней. Большой гелевизор соседствовал со старинным граммофоном.

За стойкой стоял, широко улыбаясь, тощий высокий старик неопределенной национальности в белой куртке и белой шапочке.

- Гуд ивнинг,- сказали друзья.

Несколько секунд старик не двигался, потом, с видимым усилием оборвав свою затянувшуюся улыбку, быстро зашевелился и заговорил:

- Добрый вечер, господа! Прежде всего вам надо закусить, прежде всего закусить. Присаживайтесь, сэр! У мальчика голодный вид, сэр! Старый Старжен Фиц знает, чем угостить такого отличного карапуза!

Он жутко подмигнул Геннадию и снял крышки с нескольких кастрюлек, расположенных у него за стойкой. Пар, поднявшийся из кастрюли, был так аппетитен, что Геннадий даже забыл обидного до боли в сердце, до звона в ушах "карапуза".

Старик между тем, ловко орудуя разливной ложкой и деревянными палочками "хаши", продолжал улыбаться. Вдоль всей стойки тянулась металлическая полоса электрической жаровни. Старик включил ее, смазал маслом в том участке, перед которым сидели гости, масло затрещало, старик бросил на жаровню какие-то коренья, что-то вроде грибов, слизистые комочки устриц, ломтики мяса; в черные фаянсовые пиалы старик налил супу, в маленькие блюдечки наложил какой-то зеленой пасты.

- Ручаюсь, господа, вам никогда не забыть кухни старого Старжена Фица! Почему бы юному джентльмену не отведать паштет из морского ежа? Сэр, отхлебните этого окинавского супа из каракатицы, и вы уже не оторветесь! Не желаете ли сырой рыбы сашими? Она так нежна, так нежна, так нежна, так нежна...

Старик, словно испорченная пластинка, запнулся на "так нежна" и повторял эти слова все тише и тише, а потом совсем затих и застыл с широкой безжизненной улыбкой на устах.

Проголодавшиеся друзья набросились на удивительную еду и даже забыли на какое-то время о цели своего прихода. Старик между тем вышел из оцепенения, пролез под стойкой в зал и заиграл на скрипке. Он подходил со скрипкой к гостям, склонялся то к мальчику, то к капитану, вкрадчиво и ласково шептал:

- Носки, галстуки, кактусы, шпильки, замки, открытки...

Не прерывая игры на скрипке, он несколько раз взмахнул над головами друзей самурайским мечом, дал холостую очередь из винтовки "М-14", показал несколько приемов дзюдо и ударил страшным свингом по чучелу медведя панды, скромно стоящему в углу зала. Потом он подсунул Геннадию альбом с "самыми редкими марками", схватил свободную от еды ладонь капитана и снова зашептал;

- Феноменальное сочетание физических и духовных качеств, сэр, приведет вас к триумфу! Все-таки, сэр, сохраняйте осторожность в первую неделю новолуния... Старый Старжен Фиц, сэр, лучший хиромант Юго-Восточной Азии, и если бы не интриги ..

- Простите, мистер Старжен Фиц, - сказал Рикошетников, осторожно освобождая свою руку для собственных надобностей. - Мы пришли сюда только лишь для того, чтобы повидать консула Республики Большие Эмпиреи и Карбункл...

Старик вдруг отпрыгнул в сторону с криком "О-ле! и, обращаясь к медведю панде, филину, маскам и маринованным чудовищам, торжествующе воскликнул;

- Слышали?

После этого он нырнул под стойку, скрылся за бамбуковой шторой и через минуту явился оттуда в совершенно уже новом обличии. Преисполненный достоинства дипломат в мундире, расшитом золотыми нитями, с высоким стоячим воротником, покровительственно и любезно смотрел на гостей. Лишь забытая на голове поварская шапочка напоминала о прежнем Старжене Фице. - К вашим услугам, господа, - сдержанно поклонился генеральный консул.

- Мы советские моряки, господин консул, - оправившись от первого ошеломления, пробормотал Рикошетников.- Я капитан научно-исследовательского судна "Алеша Попович", Николай Рикошетников, а это мой друг Геннадий Эдуардович Стратофонтов.

- Стратофонтов? - поднял правую бровь генеральный консул. - Не являетесь ли вы, сэр, одной из ветвей генеалогического древа национального героя нашей республики русского адмирала Страттофудо, памятник которому возвышается в столице нашей страны Оук-порте?

- Геннадий как раз является ветвью адмирала Стратофонтова, но отнюдь не Страттофудо, - сказал капитан.

Консул улыбнулся:

- Так жители нашей страны переиначили это славное имя на свой манер.

- Значит, мы увидим памятник моему предку? - воскликнул Геннадий.- Николай Ефимович, это потрясающе! Памятник моему дедушке!

- Вы собираетесь посетить Большие Эмпиреи? - осторожно спросил консул.

- Как раз по этому поводу мы и пришли к вам, сэр,- сказал Рикошетников.- "Алеша Попович" будет все лето исследовать шельф в районе архипелага и знаменитую впадину Яу. Мы хотели бы получить согласие вашего правительства на заходы в ваши порты и гавани.

- На вашем судне есть футбольная команда?-быстро спросил консул:

- Что-о? Футбольная команда? Да, разумеется, у нас есть футбольная

команда...

- Тогда все в порядке. Футбол - это главная страсть нашей республики и президента. Вы получите право захода во все гавани Больших Эмпиреев.

- И Карбункла, - добавил Рикошетников.

- Во все гавани и порты Больших Эмпиреев,- повторил консул.

- Ну, конечно, и Карбункла? - весело спросил Рикошетников.

Мимолетная тучка проскользнула по лицу Старжена Фица.

- На Карбункле не играют в футбол,-сухо сказал он.

Рикошетников не обратил внимания на странный тон, каким были сказаны эти слова, извлек из своего портфеля судовые бумаги и приступил к обсуждению формальностей.

"Почему же на Карбункле не играют в футбол? - подумал Геннадий.- И почему консул помрачнел, когда сказал об этом?"

- Ну все в порядке,- сказал Рикошетников, закрывая свой портфель.

- Наконец-то можно снять проклятый мундир!-воскликнул Старжен Фиц.-Надеваю я его, господа, не чаще одного раза в десять лет, но все-таки терпеть не могу. Что вам приготовить, господа? Итальянскую пиццу, швейцарскую фондю, аргентинское асадо, индийский керри-райс или, может быть, русский борщ?

- Что вы хотите этим сказать? - воскликнул Геннадий.

Он побагровел и вытянулся как струнка.

- Просто повеяло воспоминаниями детства,-затараторил вдруг по-русски Старжен Фиц,- Как вы вошли, господа, так сразу пахнуло нашим русским привольем, березовым соком, борщом... Ведь я, господа, родился в Санкт-Петербурге и покинул его шестьдесят лет назад в вашем возрасте, милостивый государь,- Он почтительно поклонился Геннадию.- Судьба мотала меня по всему миру, господа, но об этом не будем. Единственная страна, где мне не довелось побывать,- это Республика Большие Эмпиреи и Карбункл... Всего доброго, господа, всего доброго, но прежде прошу оплатить счет. Ваш

ужин, господа, стоил три тысячи иен, игра на скрипке четыреста пятьдесят иен, демонстрация приемов бокса и дзю-до пятнадцать иен. Извините, господа, я бы не взял с вас денег, но мое правительство не платит мне жалованье уже двадцать четыре года. Приходится изворачиваться, господа. Старость - не радость... Прежде старый Старжен Фиц зарабатывал на велогонках, сейчас соль в коленных суставах, господа...

Консул, видимо, мог бы так болтать еще очень долго, но моряки направились к выходу. Старжен Фиц проводил их до дверей, всучил на дорогу чикагский галстук, кактус, раковину и банку с сороконожкой за 127 иен.

- Ах, господа, - тараторил он уже в дверях,-говорят, что страна, которую я здесь представляю, земной рай! Хочу вам дать последний полезный совет, господа. Обязательно постарайтесь в Оук-порте познакомиться с мадам Накамура-Бранчевской. Недавно эта леди посетила Токио" и старый Старжен Фиц был просто очарован...

- Чем же знаменита эта дама? - усмехнулся Рикошетников. Чудак консул успел уже порядком надоесть ему.

- Ах, это просто совершенство! Убедительно советую не избегать приятнейшего знакомства с этой богатой импозантной и попросту красивой женщиной.

- Я никогда не чурался импозантных, а тем более красивых дам, - улыбнулся капитан.

- Это похвально, это похвально, это похвально...- Консул оцепенел с широкой бессмысленной улыбкой на устах.

По дороге к порту Геннадий и капитан во всех подробностях вспоминали визит к "генеральному консулу" и весело хохотали.

В районе Гиндзы их "бентли" попал в автомобильную пробку. Джазовые обвалы из окон баров, крики зазывал и уличных торговцев, полицейские свистки и сирены, клаксоны автомобилей чуть не оглушили их. В небе, освещенный скрещенными лучами, поворачивался рекламный автомобиль, ниже то хмурилась,

то расплывалась в улыбке гигантская неоновая рожа, все кричало, мелькало, подмаргивало. Световая газета на крыше "Асахи" вещала;

Сегодня в Токио убито 15, ранено 307!

Битлы заявили протест министерству внутренних дел Англии!

Советы продолжают штурм космоса!

Заявление генерала Зиапа! Экс-шахиня Сорейя приняла приглашение киностудии "МГМ"! Исчезновение панамского сухогруза в ста милях от Гонконга!

Потеряна связь с яхтой шейха Абу-Даби, стоимость которой оценивается в 15 миллионов .. Самолет таиландских ВВС засек неизвестные торпедные катера! Новые пираты?

ГЛАВА 3

в которой слышится пение кота и тявканье "Ржавой акулы"

Стоял полный штиль. Вот уже неделю плавучий институт в идеальных условиях исследовал семикилометровую впадину Яу. Ничто не мешало ученым опускать дночерпал-ки и тралы, запускать радиозонды. Корабль медленно двигался, прокладывая новый промерный галс. Эхолоты прощупывали глубину. На палубах "Алеши Поповича" царила веселая суета. Казалось, что это кусок черноморского пляжа: все ученые и моряки были в плавках и темных очках.

Неподвижный океан горел с яркостью вольтовой дуги. Иногда в слепящем мареве трепещущими пятнами пролетали стайки летучих рыб.

Геннадий никак не мог свыкнуться с мыслью, что под днищем их судна такая гигантская толща воды - семнадцать с половиной кругов стадиона имени Кирова, четырнадцать останкинских телебашен! Подолгу он стоял, опершись на планшир, глядя, как из темноты в прозрачные слои выплывают акулы. Эти мерзкие твари постоянно кружили вокруг судна и испарялись только тогда, когда появлялись быстроглазые, иронически улыбающиеся дельфины-афалины.

- Почему же все-таки целая стая акул боится одного-единственного

дельфина?-спрашивал Гена своего непосредственного руководителя доктора биологических наук

Верестищева.

- Дельфин отважен, а акула трус,- отвечал Самсон Александрович.- Акула, Гена, это своего рода морской фашист.

- Вы думаете, что фашизм труслив? - пытливо спрашивал мальчик.- Но ведь он всегда нападает первым...

- Это сложная проблема, Гена, очень сложная,- задумчиво говорил Верестищев,- Всегда ли смел тот, кто нападает первым?

Препарируя моллюсков и глубоководных рыб, ученый и лаборант часто вели содержательные беседы, которые иной раз соскальзывали к философской плоскости.

- Вы знаете, Гена,-сказал как-то Верестищев,- как индонезийские рыбаки мстят акулам, когда от их зубов погибает человек? Они вылавливают хищника, разжимают ему челюсти, засовывают ему в желудок живого морского ежа и выпускают в море. Акула обречена на долгие нестерпимые муки.

- Б-р-р...- содрогнулся Геннадий.- Все-таки это слишком жестоко по отношению к бессмысленной твари...

- Акулы кажутся этим рыбакам не животными, а враждебным племенем.

- Тем более это жестоко! - воскликнул Геннадий.-Рубанули бы гадину - и дело с концом!

- Это очень сложная этическая проблема,- задумчиво сказал Верестищев.- Вы мыслите, Геннадий, не по возрасту серьезно. Давайте-ка займемся чем-нибудь попроще. Вот перед нами медуза...

Они погрузились пинцетами в довольно-таки неаппетитное желе распластанной медузы.

- Знаете ли вы, Гена, что акустический аппарат медузы угадывает приближение шторма больше чем за сутки? - спросил Верестищев.

- А нельзя ли сделать такой прибор, как этот аппарат у

медузы-полюбопытствовал Гена.

- Вы меня поражаете, Геннадий- воскликнул Верести-щев.- Как раз над этой проблемой работает один отдел в нашем институте. Вам надо быть ученым, мой мальчик!

Однажды, проснувшись, Геннадий очень удивился, не увидев на палубе расчерченного жалюзи солнечного коврика Тусклый серый свет еле-еле освещал каюту. Иллюминатор, казалось, был задраен брезентом.

- Привет, Генок,- сказал Телескопов.- Тебя с туманом, а меня с халтуркой.

Он сидел на своей койке и плотничал, плотничал тихо и сокровенно, как в детстве.

- Доктору клетку сочиняю,- объяснил он.- Всю дорогу доктор не отвечал взаимопониманием, а сейчас клеточку заказал. Удача: кенара он ночью поймал, доктор наш золотой.

- Как так - кенара? - поразился Гена.

- Ну, может, не кенара, так попку, а может, еще какого черта, - сказал, посвистывая, Телескопов.

- Но ведь кенар или попугай - это береговые птицы!

- Да, видать, к Эмпиреям замечательным подгребаем.

Геннадий вышел на палубу. Видимость была не больше полукабельтова. "Алеша Попович" двигался самым малым, каждые две минуты сигналя туманным горном. Трое парней готовили к спуску за борт двухсотлитровый батометр. Геннадий поднялся на ходовой мостик и здесь, возле двери радиорубки, встретил судового кота Пушу Шуткина. Кот сидел на задних лапах, недобрыми желтыми глазами смотрел на мальчика.

Кот этот записался в судовую роль "Алеши Поповича" в итальянском порту Бари, но никто бы не смог поручиться, что он был родом именно оттуда.

Вот уже четыре года Пуша Шуткин плавал на "Алеше Поповиче", сходил на берег в каждом порту, устраивал там свои дела, но неизменно возвращался, завидев на мачте флаг "Синий Петр"- сигнал "Всем на борт!".

Шуткин пользовался у экипажа и ученых заслуженным авторитетом. Это был солидный боевой, покрытый шрамами кот, исполненный достоинства и благосклонности к двуногим друзьям. И только лишь к Геннадию Шуткин отнесся с каким-то пренебрежением: высокомерно выгибал спину, трубой поднимал хвост, презрительно фыркал, старался по мере сил досадить юному моряку. Вспомним хотя бы историю с борщом.

Нельзя сказать, что Геннадия это не задевало. "Уж не видит ли он во мне соперника",- иногда думал мальчик, и от этой мысли ему становилось не по себе.

Сейчас, встретив кота, Геннадий решил раз и навсегда выяснить с ним отношения.

- Простите, Шуткин, но мне кажется, что вы относитесь ко мне с каким-то предубеждением,- сказал он.- Почему? Разве не получали вы от меня колбасу, селедку, конфеты? Разве не отдал я вам чуть ли не половину праздничного блюда бешбармак, которым нас побаловал старший кок Есеналиев?

Кот выгнул спину, поднял хвост трубой и пошел прочь, но вдруг, словно передумав, повернулся к Геннадию, встал на задние лапы и с горечью запел:

В любом порту живет нахал, Которому эа дело Маэстро Шуткин раздирал Полморды и полтела. В Бордо бесхвостый обормот Оклеветал нас жутко, Сказав, что благородный кот Всего лишь раб желудка Но моряки - прямой народ В душе моей открытой Они считают. Шуткин-кот Не любит паразитов. Не так важна коту еда, Пусть даже голод гложет, Мужская дружба мне всегда Значительно дороже А вы, Геннадий-новичок, Поверив гнусным слухам, Не удосужились разок Пощекотать за ухом. Я презираю бешбармак И жирную селедку, Зато ценю как дружбы знак Заушную щекотку...

- Так вот, в чем дело!-воскликнул Геннадий,- Приношу вам свои глубочайшие извинения! Разрешите мне немедленно протянуть вам руку дружбы!

Кот, не скрывая удовольствия, выгнул шею, и Геннадий в течение пяти минут щекотал его за ухом.

- Мерси, - сказал наконец кот. - Я совершенно удовлетворен и в знак благодарности дарю вам свою любимую песню, которую довелось слышать только моим истинным друзьям и подругам.

Вспрыгнув на кнехт и взявшись правой передней лапой за леер, кот закрыл глаза и запел чудную песню:

Иные любят гладь да тишь,
Подушки, одеяла
Предпочитаю гребни крыш,
Сырую мглу подвалов.
Мурлан мурлычет день-деньской,
Хозяйке лижет локти,
А я за дымовой трубой
Натачиваю когти.
Но для друзей моя душа -
Всегда одна красивость,
Ведь дружба так же хороша,
Как честь и справедливость
Курлы мурлы олеонон,
Фурчалло бракателло,
Дирлон кафнутто и ниссон,
Журжалло свиристелло..

Далекий, но сильный хлопок прервал песню кота. Вслед за этим зловещим хлопком из глубины тумана донеслось не менее зловещее тявканье. Распахнулась дверь радиорубки, и на пороге появился радист Витя Половинчатый.

- Где капитан?!- гаркнул он, округляя глаза до полной шаровидности. Он перепрыгнул через комингс и побежал к капитанской каюте.

- Николай Ефимович! В эфире SOS! SOS! ...Весь командный состав "Алеши Поповича> сгрудился в тесной радиорубке. Витя Половинчатый возбужденно говорил и писал на кусочках бумаги.

- Очень слабые сигналы ... SOS .. Запрашиваю: кто терпит бедствие?.. Молчат... Я советское судно "Алеша Попович"... координаты... молчат... вот, товарищи... тише! Передают международным кодом... шлюпку с пассажирского теплохода "Ван-Дейк" преследует неизвестная подводная лодка. Пользуясь туманом и пуская дымовые шашки, пытаемся скрыться... в шлюпке шестьдесят три человека, есть женщины и дети... SOS... наши координаты...

- Они в двух милях отсюда! - воскликнул Рикошетников.

- Что за подводная лодка? Неужели эти газетные сенсации с пиратами...- пробормотал Шлиер-Довейко.- Какое принимаем решение, Николай Ефимович? Несколько секунд Рикошетников молчал, опустив голову. Рисковать кораблем? Что это за безумная субмарина? Шестьдесят три человека, женщины, дети... Осмелятся ли бандиты напасть на советское судно?

Все собравшиеся в радиорубке затаили дыхание. Никто не смотрел на капитана. Все ждали его решения. В море каждое слово капитана - непреложный закон.

- Идем на сближение,-тихо сказал Рикошетников и бросился к дверям.

...Туманная сирена "Алеши Поповича" выла теперь без перерыва. Судно шло средним ходом. Все свободные от вахты моряки и ученые толпились на баке. Снова, уже совсем близко, дважды бухнула пушка. Словно огонек сигареты, повисла в тумане красная парашютная ракета. Послышались резкие свистки, желтый глазок слабого шлюпочного прожектора выплыл из тумана, и вскоре появились очертания большой спасательной шлюпки под излохмаченным, никчемно висящим парусом. Казалось, что не расстояние, а туман приглушает крики людей, зовущих на помощь. Шлюпка была переполнена. Ясно было, что даже при волнении в четыре балла она неминуемо пошла бы ко дну. Сейчас люди, забыв об опасности, встали во весь рост и размахивали руками, но криков их не было слышно, рев туманной сирены "Поповича" прорезали только свистки рулевого.

"Алеша Попович", подчиняясь приказам капитана, осторожно маневрировал и сближался со шлюпкой. Сирена вскоре была выключена, и до слуха скованных

напряжени-ем людей донесся хриплый голос со шлюпки:

- Help us! Soviet ship, help us! Sake for Christ!

И сразу же после этого крика в тумане возникли очертания большой подводной лодки. На мостике лодки замелькал огонек ратьера. Международным кодом было передано приказание:

"Остановить двигатели!"

Николай Рикошетников, не вынимая изо рта трубки, отдал команду. "Попович" просигналил:

"Кто приказывает?"

Лодка в свою очередь запросила:

"Чье судно?"

"Советский научный корабль ".Алеша Попович",- ответил Рикошетников.- Кто вы?"

Несколько минут лодка хранила молчание, разворачивалась носом к "Алеше Поповичу". На мостике ее было видно движение. Спасательная шлюпка раскачивалась уже не более, чем в пятидесяти метрах от судна. Слышен был даже женский плач.

"Повторяю-остановить машины!-засигналила лодка.- Через пять минут открываем огонь!"

"Прекратите пиратские действия>,-ответил Рикошетников и яростно заорал:

- Спустить штормтрап, принять людей со шлюпки! В тот момент, когда первые измученные люди со шлюпки упали в руки моряков "Алеши Поповича", неизвестная подводная лодка дважды плюнула огнем. Многоопытный Шлиер-Довейко сразу определил по голосу скорострельную пушку "Расти Шарк" времен второй мировой войны. Снаряды упали в воду возле самого борта и перевернули шлюпку с "Ван-Дейка". Ужасные крики прорезали туман. Гена опомнился только в воде, куда почти безотчетно бросился на помощь несчастным. Многие моряки с "Поповича" последовали его примеру.

Выпрыгнув из теплой воды, Гена увидел прямо перед собой торжественно

идущую ко дну старую леди с визжащим мопсом в руках. Сильной рукой мальчик обхватил костлявое тело и по всем правилам спасения на воде перевернулся на спину. Вода возле правого борта бурлила.

Два сильных прожектора с "Алеши Поповича" рассеяли туман и уперлись в рубку подводной лодки. Теперь она была отчетливо видна, среднетоннажная субмарина времен прошедшей войны, но, по всей вероятности, сильно модернизированная и приспособленная для особых целей. Никаких знаков различия на корпусе не было. На мостике лодки видно было несколько мужских фигур в синих куртках. Двое мужчин присели возле тупорылой "Расти Шарк". Еще одна пушка вместе с артиллеристами поднималась из скрытой в корпусе шахты.

Шли томительные минуты. Моряки "Алеши Поповича" продолжали спасение людей с "Ван-Дейка". Геннадий помог старой леди ухватиться за канат штормтрапа и бросился на помощь бородачу, за шею которого уцепилось двое визжащих карапузов.

Витя Половинчатый без устали передавал в эфир?

"Всем! Всем! Всем! Я - советское научно-исследовательское судно "Алеша Попович", спасаю людей с теплохода "Ван-Дейк". Неизвестная подводная лодка ведет артиллерийский огонь. Наши координаты..."

Первым откликнулся учебный корвет индийских военно-морских сил, но он находился на расстоянии не менее пяти ходовых часов. Помощи от Республики Большие Эмпиреи и Карбункл ждать было нечего. Насколько знал Рикошетников, военно-морские силы этой страны состояли из таможенно-пограничко-карантинного катера "Голиаф" и корабля-музея "Рыцари ночи".

- Похоже на то, что наше дело табак,- проговорил умудренный опытом Шлиер-Довейко.

- Мне кажется, что бандиты сами оказались в неприятном положении,- сказал Рикошетников.- Они явно в нерешительности. Конечно, они могут уничтожить нас

в два счета, по они уже обнаружили себя...

- Разве они не обнаружили себя при нападении на "Ван-Дейк"?

Рикошетников пожал плечами.

- Панамский сухогруз и яхта шейха Абу-Даби исчезли, не подав о себе никаких сигналов. Как произошло нападение на "Ван-Дейк", мы пока не знаем...

- Вы думаете...- начал было Шлиер-Довейко, но в это время рулевой Барабанчиков закричал:

- Они погружаются!

Пушка пиратской субмарины быстро уходила в глубь корпуса. Люди с мостика исчезли. Лодка погружалась.

ГЛАВА 4

в которой слышится нервный смех, слетают слезы благодарности,

а в конце звучит бравурная музыка

Нервный смех сотрясал капитана теплохода "Ван-Дейк" Питера ван Гроота. Огромный голландец, похожий на персонажей картин старых мастеров, облаченный в свитер самого массивного члена экипажа "Алеши Поповича" стар-меха Калипсо Яна Оскаровича, на три четверти уже осушил бутылку "Столичной" и все не мог успокоиться.

- Нет это невероятно, господа! - грохотал голландец.- Пираты! Пираты шестидесятых годов двадцатого века! Презабавно! Ваши аппараты, господа, садятся на Луну, каждую секунду сто тысяч человек дрыхнет над землей в мягких креслах воздушных лайнеров, из своего дома в Утрехте я разговариваю с новозеландской тетей так, словно она у меня в саду подстригает тюльпаны! И рядом с этим... пираты, господа! Элементарный морской грабеж! Джентльмены удачи! Нет, это невероятно! Это просто ши-кар-но!

Он вылил в свой стакан остатки водки, стукнул кулаком по столу и расхохотался пуще прежнего.

- Самое смешное то, что жертвой оказался я - Питер ван Гроот! Знаете ли вы, господа, что мы ведем свой род от самого отчаянного разбойника адмирала Оливера ван Гроота?

- Первого голландца, обогнувшего земной шар на корабле "Мориц" в конце шестнадцатого века? - спросил Рикошетников.

- Именно! Именно! Ну, не анекдот ли?- Капитан выпил водку и затрясся от смеха.

- Успокойтесь, сэр,- мягко сказал ему бывалый Шлиер-Довейко.

Ван Гроот вдруг оборвал смех. Круглое лицо его обрело углы. Остановившийся взгляд уперся в матовый светильник на дубовой стене кают-компании.

- Я потерял свое судно, почти всех пассажиров, весь экипаж. Если бы не вы... Зачем вы меня спасли?

- Известно ли вам было, капитан, об исчезновении па-намского судна и яхты шейха Абу-Даби? - спросил помполит Хрящиков.

- Что-то слышали по радио...

Капитаны, Шлиер-Довейко, помполит, стармех и старпом сидели за круглым столом в кают-компании. Солнечные блики трепетали на ворсистом ковре и полированной поверхности стола: туман рассеялся. "Алеша Попович" полным ходом шел к столице Больших Эмпиреев Оук-порту.

- Связь с панамским сухогрузом оборвалась в ста милях от Гонконга,-задумчиво сказал Рикошетников. - Яхта шейха пропала к югу от Цейлона. "Ван-Дейк" ограблен и потоплен в ста пятидесяти милях от Больших Эмпиреев. Слишком большой диапазон для одной подводной лодки.

Он положил руку на плечо ван Грооту и мягко сказал:

- Расскажите, как было дело, капитан. Возьмите эту сигару. Курите и рассказывайте.

- Настоящая "Гавана", как я вижу?- несколько оживился ван Гроот, закуривая сигару.- Упман? Недурно!

Он откинулся в кресле, окутался сигарным дымом я начал свой рассказ;

- "Ван-Дейк", джентльмены, был прочной комфортабельной посудиной, но, конечно, уже не для экспрессных линий. Фирма использует, вернее, использовала нас на кру-изных рейсах. Мы катали старичков рантье, молодоженов, влюбленных, разочарованных дамочек, короче - чековые книжки средней толщины; впрочем, были и толстосумы. Оук-порт оказался вторым после Сингапура пунктом круиза. Там мы стояли больше недели. Пассажиры наслаждались. Природа там, господа, великолепная, а население уму непостижимое, сами увидите. К концу недели мы получили отличную метеосводку и снялись из Оук-порта на Зурбаган. Трое суток шли по гладкому, как стекло, морю. Старички гоняли шары, молодежь играла в теннис, танцевала; от этой американской трясучки у меня, господа, уже в глазах стало рябить. Бары работали до утра, боялись даже, что джину до Зурбагана не хватит.

И вот в один прекрасный вечер в девятнадцать ровно в рулевую рубку вошли два эдаких франта и шикарная дама, вроде бы какая-то эстрадная певичка. Все трое в масках, господа, и с автоматами. "Руки на голову, говорят, и всем в угол!"-"Спокойно, детки, - говорю я,-насчет киносъемок мы не договаривались". И тут девица шарахнула длинной очередью по приборам - только стекла посыпались! Сразу после этого послышались выстрелы из радиорубки. Вахтенный радист грек Леонид ас вбежал весь в крови и упал замертво. Нас выгнали на палубу, и тут мы увидели, что в двух кабельтовых от "Ван-Дейка" всплывает эта проклятая лодка и сразу же открывает огонь, сбивает нам грот-мачту. Гангстеры, их было человек десять на судне, уже гонят всех пассажиров на бак, а от лодки идут два моторных вельбота им на подмогу.

Я, господа, во время войны служил в союзном флоте, ходил с караванами в ваш Мурманск, видел всякое... но здесь, сознаюсь честно, я растерялся, я ничего не понимал... ка-кой-то бред...

Кто-то из этих мерзавцев выпустил воду из главного бассейна, всех пассажиров загнали туда, как овец в трюм, а экипаж окрутили тросом на баке. Малейшая попытка к сопротивлению - сразу автоматная очередь и... труп на палубе. Крики, стоны, плач, а вокруг безмятежное море, закатное солнце и полная пустота. Правда, раз над нами прошел межконтинентальный "боинг". Какой-нибудь пассажир небось посмотрел вниз и сказал: "Посмотрите, какой пароход беленький..."

Короче, начался самый безобразный грабеж. Часть бандитов пошла по каютам, другие выворачивали карманы, срывали с дам кольца, серьги, остальные держали нас под прицелом. Из глубины судна иногда доносились выстрелы - в машинном отделении, видимо, шла схватка.

Все это продолжалось не меньше двух часов. Наконец нам было приказано спустить шлюпки и занять в них места. Три шлюпки были повреждены "Ржавой акулой", и оставшиеся, конечно, оказались переполненными. Лодка взяла все шлюпки на буксир, встала в позицию и одной торпедой развалила старину "Ван-Дейк" надвое.

Всю ночь лодка шла в надводном положении я тащила шлюпки за собой. Какую судьбу они нам готовили? Почему не уничтожили вместе с судном? Один из моих матросов сказал мне, что слышал краем уха в Сингапуре о какой-то партии наркотиков. Может, это было столкновение враждующих клик, может быть, мы оказались случайной жертвой?

К утру сгустился туман, и я приказал обрубить буксир.

Я хотел попытаться добраться до островов Кьюри, потому что понимал: свидетелей такого дела вряд ли оставят в живых Должно быть, я был прав. Лодка охотилась за нами с упорством гончей Если бы не вы...

На "Поповиче" тем временем помогали спасенным: делали перевязки, инъекции, поили бромом, валерьянкой, чаем с малиной, кофе с коньяком, молоком, кому что нравилось.

Старая леди, уже подсохшая и взбившая надлежащим образом седые букли, отыскала своего спасителя.

- What's your name my young hero?- со скрипучей нежностью спросила она Геннадия.

- My name is Геннадий Стратофонтов, madam,- вежливо ответил мальчик.

- Oh Lord! - Леди подняла к небу глаза цвета увядших незабудок- Теперь у меня есть два любимых существа! Прежде у меня был один лишь Винстон...- Она поцеловала своего мопса, который осторожно покосился на величественного Пушу Шуткина.- Теперь у нас есть вы - Генна ди Страто... О, это слишком трудно для меня. Я буду называть вас Джин Стрейтфонд... Я включу вас в свое завещание. Винстон получит шестьдесят процентов, а вы, Джин, сорок процентов.

- Благодарю вас, мэм, но это не требуется,- сдержанно поклонился Геннадий.

- Никаких "но"!-категорически заявила дама.-Мой покойный супруг скопил достаточную сумму на моделировании вставных челюстей. На мои фунты, Джин, вы сможете получить приличное образование.

~ Мне не нужны ваши фунты, мэм. Я и так получу приличное образование,- ответил Геннадий, слегка задетый за живое.

- Инкредэбл! Невероятно! - воскликнула дама.-Почему вы отказываетесь от денег? Ведь вы же спасли нас с Винстоном?

- Я советский пионер, мэм, и этим все сказано, - суховато сказал Геннадий.

- О Лорд!- воскликнула дама.- Не значит ли это, что вы отказываетесь от нашей с Винстоном дружбы?

С глаз ее слетели две-три зеленоватые старческие слезинки, и одна из слезинок упала на загорелое плечо мальчика. Геннадий был тронут искренностью дамы, и он, конечно, учел особенности человека, выросшего и состарившегося в капиталистическом мире.

- Деньги могут только испортить дружбу, мэм, а от дружбы я не отказываюсь.

- Вы святой мальчик, Джин,-на грани рыдания промолвила старушка- Запишите мой лондонский адрес и телефон. Мы с Винстоном будем ждать вас весь остаток наших дней.

Едва Геннадий записал адрес почтенной миссис Сьюзен Леконсфильд, как по судовой трансляции раздался голос первого помощника Хрящикова: "Всем свободным от вахты членам экипажа и научным сотрудникам собраться в помещении столовой на информацию".

Геннадий сунул адрес в карман, не подозревая о том, что этот клочок бумаги в скором времени спасет ему жизнь.

В помещении столовой висела карта Республики Большие Эмпиреи и Карбункл. Архипелаг напоминал перевернутую вниз головой запятую. Десятки крошечных необитаемых островов грядой-загогулиной тянулись к югу, к голове, к сравнительно большому острову Эмпирей со столицей Оук-портом и ко второму по величине острову Карбункл. Перед картой стоял с указкой перпом Хрящиков с лицом удивленного льва.

- Ну вот, товарищи,-сказал он, откашлявшись-сегодня мы лицом к лицу столкнулись с парадоксом мира чистогана, где каждый мазурик, купив подводную лодку, может превратить законный отдых в чистый ад. В нашей стране такого безобразия быть не может, это всем ясно. Капитан поручил передать мне благодарность экипажу за выдержку, четкость. От себя скажу, что в этом эпизоде мы себя ничем не скомпрометировали, и это большой плюс.

Теперь главное. Мы идем с дружеским визитом в город Оук-порт. Никогда прежде нога советского человека не ступала на эту отдаленную территорию.

- Вообще-то ступала, - скаэал вдруг из третьего ряда плотник Телескопов,- Моя нога и ступала, Лев Африканович.

- А с вами, Телескопов, разговор будет особый!-прикрикнул на него Хрящиков и сделал какую-то пометку в своем блокноте.

- Итак, продолжаю. Нога туда, товарищи, - перпом метнул суровый взгляд на невинную физиономию Телеско-пова,- не ступала. Население там, товарищи, очень неопределенной нации и имеет неопределенный язык, который мы должны уважать, хотя некоторым и смешно.- Он снова взглянул на Телескопова. ~ Стоять там будем три дня с тремя целями. Первая цель - сдадим спасенных нами граждан разных стран. Вторая цель - пополним запасы пресной воды и продовольствия. И третья, может быть самая главная,- покажем жителям далекой, но близкой страны истинное лицо советского народа.

Следующее немаловажное сообщение, товарищи. Еще за сутки до сегодняшних возмутительных событий мы запросили у властей Оук-порта разрешение на заход. В ответ получено сообщение, которое Николай Ефимович склонен считать юмористическим: "Разрешаем заход в порт при условии вашего согласия на футбольный матч со сборной республики". Я со своей стороны считаю этот вызов суровым испытанием наших моральных и физических качеств. Надеюсь, что наши судовые спортсмены не ударят в грязь лицом и проведут состязание с присущим им огоньком и задором. Кто бы ни победил, победит дружба. Всё, товарищи. Телескопов, останьтесь.

Утром следующего дня с "Алеши Поповича" увидели первый остров архипелага под смешным для русского уха названием Фухс. Весь день шли вдоль гряды островов, и они возникали один за другим, похожие на клумбы, а некоторые с сахарными головками остроконечных гор.

Солнце стало уже клониться к закату, когда показались отвесные базальтовые стены острова Карбункл. "Алеша Попович" вошел в пролив между Карбунклом и Эмпиреем. На горизонте, как сказочное видение, возник Оук-порт.

Гена стоял на ходовом мостике и завороженными глазами смотрел на приближающиеся стены древней крепости, на некогда мощные, то круглые, то острые, как нос корабля, бастионы, на красные черепичные крыши, на купола и шпили соборов, ракетоподобные башни минаретов, на пагоды, похожие на гигантские ели.

- Невероятный город, Гена, правда? - сказал за его спиной капитан Рикошетников.

- Он похож на сказку, - прошептал Геннадий.

- Скорее на сновидение,- сказал капитан. Древний центр Оук-порта был расположен на небольшом круглом полуострове, соединенном с Эмпиреем узкой перемычкой. Когда-то его мощные бастионы прикрывали две бухты, на набережных которых сразу за причалами высились теперь пяти- и шестиэтажные дома с зеркальными окнами и лепными украшениями, построенные, по всей вероятности, в конце прошлого века.

В одну из этих бухт заворачивал теперь самым малым "Алеша Попович".

Вдоль всей набережной под пальмами, под сводами гигантских дубов и пиний стояли, глядя на приближающийся советский корабль, толпы эмпирейцев. Толпы людей, загорелых и ярко одетых, усеяли крепостные стены и бастионы. Но - и это было странно, крайне странно!- толпы молчали. В полной тишине дизель-электроход огибал узкий гранитный волнолом. Слышен был только слабый шум турбин. Вода была прозрачна до самого дна, как и во времена адмирала Стратофонтова. Переливались камни на дне, ветвились кораллы, колыхались растения.

- В чем дело? Почему они молчат?- Рикошетников поднес к глазам бинокль.- Все молчат. Некоторые улыбаются... Странные улыбки...

"Алеша Попович" уже обогнул волнолом, когда из-за круглого бастиона с диким ревом вырвался глиссер. С чудовищной скоростью он несся прямо на судно, подобно ослепшему от ярости носорогу. Ни о каком маневре нельзя было уже и думать. Глиссер целился прямо в середину правого борта, словно хотел протаранить "Попович". В глиссере сидело несколько обнаженных по пояс мускулистых парней, а на самом кончике его носа стоял, расставив колоннообразные ноги, гигант в плавках, похожих на кусок леопардовой шкуры. Пятьдесят метров, тридцать, двадцать...

- Что они делают?! Самоубийцы! - закричал не своим голосом видавший виды Шлиер-Довейко.

В самый последний момент гигант на носу глиссера мощно оттолкнулся от борта "Поповича", рулевой резко взял влево, глиссер ушел к винту, проскочил прямо под кормой, пролетел вдоль левого борта "Поповича", выскочил в бухту, в снежно-белом вихре описал круг и закачался на волнах.

Парни в глиссере хохотали, держась за животы, а гигант на носу размахивал невесть откуда взявшимся красным флагом.

Сразу же после этого загрохотали оркестры на набережной и на стенах, сотни рук взмахнули красными советскими и эмпирейскими флагами - оранжевый, зеленый и белый круги на аквамариновом фоне. Усиленный динамиком голос прогремел над бухтой: "Вилькамес совьет легопикор бу легопикор Эмпирея!"

- Привет советским футболистам от футболистов Эмпирея,- перевел Телескопов и спокойно добавил:-Эти психи каждое судно так встречают. Скучно им тут.- Он посмотрел на стоящего рядом перпома и добавил:-Но подобный массовый восторг отношу за счет нашего флага, Лев Африканович.

ГЛАВА 5

в которой слышатся приглушенные столетиями и тысячелетиями крики ярости, победные вопли, лязг оружия, предсмертные крики, слезы ревности и шепот любви

За несколько тысячелетий до нашей эры скромный малазийский рыбак Йон, преодолев на своем утлом катамаране необъятное водное пространство, увидел за гребнями волн симпатичный архипелаг. Архипелаг этот показался Йону похожим на перевернутую вниз головой запятую. Радости Йона не было границ. Наконец-то за долгие годы можно будет обсушиться, сколотить быт, пустить корни!

Преодолев линию прибоя, Йон приступил к выгрузке жалкого скарба и целой группы диких и домашних животных. Активно помогали ему в этом деле его сыновья Мис. Мах и Тефя.

Вскоре путешественники были окружены толпой местных жителей Волосатые крепыши скакали на четвереньках вокруг катамарана и дружелюбно хрюкали. Йон знаками показал, что хотел бы познакомиться с их культурой.

Туземцы, прыгая друг через друга, что напоминало современную чехарду, повели его к подножию вулкана, над которым в те времена всегда колыхался султан розового ароматного дыма. У подножия вулкана изумленный Йон увидел гигантскую ржавую башню из еще неизвестных ему металлических сплавов. В мистическом ужасе туземцы упали ниц перед башней. Молниеносная догадка осенила Йона.

Дождавшись ночи, Йон показал туземцам на ярко горевшее в черном небе созвездие Кассиопеи. Туземцы утвердительно захрюкали. Ночь огласилась нечленораздельными стенаниями,полными тоски по столь далекой родине. И тогда Йон понял все.

Он понял, что далекие, очень далекие предки этих существ прибыли к нам на землю из пучин космоса. Впоследствии под влиянием благостного климата и огромных количеств вкусной дикорастущей еды астронавты обленились и забыли математику. Борьбы за существование на архипелаге по сути дела не было никакой, и в течение тысячелетий кассиопейцы стали травоядным племенем хрюкающих волосатых крепышей1.

Жизнь на благодатном архипелаге пришлась Йону и его семье по душе. Вскоре они тоже забыли математику и растворились в местном населении. Оторванное от древнего мира тысячемильными водными просторами население эволюционировало очень медленно. В Китае был изобретен уже порох, в Европе уже пылали костры инквизиции, а островитяне еще не научились добывать огонь.

Любопытно, что культ кассиопейской ракеты сохранился на Больших Эмпиреях

до сих пор, хотя исповедует его лишь небольшая кучка островитян, в основном горные крестьяне Гигантский тотемный столб, в который с тысячелетиями превратилась ракета, представляет удивительную загадку для ученых всего мира.

"Зачем?-думали они-Зачем нам тереть палку о палку, бить кремнем по кресалу, мудрить над паровой машиной, когда черепашьи яйца прекрасно выпекаются в прибрежном песке, а рыба варится в горячих лужах на склонах вулкана? Зачем нам, собственно говоря, порох, когда не с кем воевать, а дикие животные, привезенные Йоном, занимаются своим делом и никому не мешают? Зачем?"

Нельзя сказать, что архипелаг совершенно не посещался завоевателями. Изредка посещался.

Однажды, в III веке до нашей эры, островитяне проснулись от страшного скрипа. В океане качался гигантский деревянный корабль. Это был таранный корабль, построенный по приказу египетского фараона Птолемея Филафотора. Вот уже десять лет двести весел, к которым было приковано полторы тысячи рабов, несли этот жутко скрипящий корабль по мировым водам, и все эти десять лет три тысячи воинов, разделившись на партии носа и кормы, вели на палубе братоубийственную войну. Война была очень жестокая и увлекательная, с небольшими перерывами для приема пищи, которые происходили в общей трапезной в центре судна. Корабль, разумеется, во время войны не управлялся. Только этим и можно объяснить, что его занесло так далеко, и он сел на мель в виду-нашего блаженного архипелага.

Здесь, на мели, произошло решительное сражение, в ходе которого "партия носа" перебила "партию кормы" до последнего человека. Впрочем, "кормовики" не остались в долгу и ответили "носовикам" тем же. В трюме к тому времени осталась одна амфора с прокисшим вином, голова сыра, по твердости не уступающая гончарному кругу, и окаменевшая бычья туша.

Оставшиеся без дела рабы немного поскучали, потом стряхнули ржавые цепи, поделили поровну продукты питания, высадились на сушу и быстро растворились среди местного населения.

Дорогое убранство чудовищного дредноута древности: колонны из кипариса, изделия из слоновой кости и паросского мрамора долгое время украшали незатейливые жилища островитян, а сейчас являются достоянием городской управы Оук-порта.

В другой раз, а именно в VII веке уже нашей эры, во вторник после обеда, островитяне были разбужены звоном железа и диким зубовным скрежетом.

В прибрежный песок врезалось острым носом небольшое суденышко. Излохмаченный полосатый парус полоскался под ласковым ветром, а на песке стояли, растянувшись в цепочку, двадцать четыре свирепых вонючих мужика в звериных шкурах, с круглыми щитами и длинными мечами.

Это были скандинавские викинги, ограбившие уже берега Фландрии, Британии, Испании, Марокко, Индии и множества других стран. После последнего разбоя в какой-то стране, название которой они забыли, они вышли в море и много недель плыли в северо-юго-западно-восточном направлении. Вокруг была одна вода, воевать не с кем, на ладье теснотища. Викинги скучали, ругались друг с другом, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не наткнулись они на наш блаженный архипелаг.

Подняв мечи и исторгая воинственные клики, они бросились на удивленных спросонья островитян. Ясно было, что пощады не будет никому.

Островитяне, как пугливые лани, взлетели на свой любимый вулкан, а тяжелоногие викинги вдруг остановились, увидев котел с вареными крабами, лангустами и омарами, связки копченой рыбы и гирлянды бесплатных фруктов.

"Сперва закусим,- подумали они.- Сперва как следует подзаправимся, а потом уже пограбим, побесчинствуем за милую душу".

Двенадцать викингов с жутким хрустом и чавканьем взялись за еду, а

двенадцать других заняли круговую оборону. Островитяне красивыми оленьими глазами наблюдали за викингами, радуясь их хорошему аппетиту.

Насытившаяся половина шайки сменила охрану, но тут же заснула. Вскоре заснули и остальные.

Проснувшись, викинги увидели над собой шелестящие ветви вечнозеленых дубов и пальмовые листья, а еще выше ласково подмигивающее созвездие Кассиопеи, услышали шорох волн и дивное пение местных девушек. Воткнув в песок свои мечи, викинги быстро растворились среди местного населения.

Были и другие гости. Индийские купцы и полинезийские рыбаки находили спасение на архипелаге во время шторма. Иной раз любопытства ради приплывали африканцы на плотах из папируса и персидские конокрады. Море порой выбрасывало на берег людей, совершенно неизвестных наций, и не было иноземца, который, разобравшись в обстановке, не растворился бы мигом среди местного населения.

Так шли века. Так формировалась нация нынешней Республики Большие Эмпиреи и Карбункл. Мирная элегическая жизнь царила на архипелаге многие столетия, пока не началась эпоха великих открытий и великого разбоя.

Первым профессиональным пиратом, попавшим на архипелаг, была, как ни странно, женщина.

Известно, что в начале XIV века баронесса де Клиссон из Нанта, мстя королю Франции за казнь своего мужа, снарядила три корабля и взялась грабить и жечь прибрежные города, не брезгуя и встречными кораблями.

Против мирных жителей, которым ее бандюги вспарыва-ли животы, баронесса лично ничего не имела, но она прекрасно знала, что от каждого ее набега у короля Франции портилось настроение, и это доставляло ей чрезвычайно сильное удовольствие.

- Шерше ля фам! Ищите женщину! - кричал король на своих адмиралов, но толку от этих криков было мало.

Много месяцев продолжалась эта своеобразная месть, а правительственные

корабли никак не могли напасть на след эскадры кровожадной мадам.

И вдруг разбой прекратился. Пиратская эскадра, как в воду канула. Собственно говоря, все так и считали, воображая, что страшный Бискайский залив сделал то, что не могли сделать корабли французского флота.

На самом же деле мадам де Клиссон неожиданно направила свою эскадру к югу. Ее вдруг охватили мучительные угрызения совести, и она решила навсегда покинуть наказанную ею Францию.

Задолго до знаменитого Васко да Гама мадам де Клиссон обогнула мыс Доброй Надежды, не обратив на него особого внимания. Долгие месяцы, пока корабли шли через Индийский океан, женщина-чудовище стояла на коленях в своей каюте и замаливала свои грехи.

Волны становились все выше и выше, они вздымали не уклюжие нантские барки в пугающую высоту, и мадам Клиссон казалось, что она возносится на небеса.

Однажды с гребня рекордно высокой волны рыдающая дама увидела цветущие острова с белыми сахарными головками гор. Ее осенила идея, что архипелаг этот ниспослан ей как искупление грехов, и она воскликнула;

- Вот они, блаженные Эмпиреи!

Французы высадились. Несколько дней они буянили и безобразничали, отдавая дань старым привычкам, а потом, успокоившись, растворились среди местного населения. На небольшом круглом полуострове раскаявшаяся грешница построила часовню, заложив тем самым основу будущего города Оук-порта.

Еще одно столетие прошелестело в тихом блаженстве. Затем в субботу перед обедом островитяне были разбужены громом пушек. В нескольких кабельтовых от берега на озорных веселых волнах приплясывали галеоны свирепого португальского адмирала Жоао-Нуньеса да Гаэтано.

Закованные в сталь португальцы водрузили на потухшем уже вулкане свой флаг, воздвигли путем нещадной эксплуатации островитян мощные крепостные стены, и архипелаг превратился в португальскую провинцию, а Жоао-Нуньес да

Гаэтано стал губернатором.

Казалось бы, начался жестокий колониальный режим, но... годы прошли, и мрачные аркебузники растворились среди местного населения, флаг изжевали любопытные горные козлы, а грозный губернатор превратился в обыкновенного бандюгу с большой дороги. Всякий раз, как у него кончался нюхательный табак, он снаряжал галеон для разбоя и надолго покидал свои владения.

Архипелаг стал настоящим прибежищем "джентльменов удачи" всех наций, вольной хулиганской республикой. Здесь бросали якоря пираты, флибустьеры, буканиры, корсары и каперы всех мастей. Все цивилизованные страны проклинали дьявольское разбойничье гнездо, не догадываясь, впрочем, об одном весьма важном и странном обстоятельстве.

Дело в том, что блаженный архипелаг не плодил пиратов, а как раз наоборот - сокращал их число. Множество отъявленных мерзавцев под влиянием красоты и свободы забывали о своем преступном прошлом и растворялись среди местного населения. Примером этому может служить случай со знаменитым корсаром Бархатным Чарли, прозванным так за то, что он никогда не снимал камзола из черного бархата.

Однажды, в XVIII веке, перед ужином часовые на башнях были разбужены диким голосом Бархатного Чарли.

Бригантина негодяя под идиллическим именем "Уайт Свон" ("Белый лебедь") барражировала вдоль крепостных стен. Капитан, расставив ноги в драных ботфортах, стоял на юте и орал в рупор своим нехорошим диким голосом:

- Отдавайте красавицу Марго!

Вдоль правого борта с дымящимися фитилями в руках стояли его канониры, и все, как замечено было с башен, в плохом настроении.

- Какую еще вам красавицу Марго? - крикнул долговязый Маркус Джереми Йон, представитель одной из старейших семей архипелага.

~ Сами знаете какую! - заорал Бархатный Чарли.- Отдавайте немедленно! От-крываю огонь всем правым бортом!

Впоследствии выяснилось, что его любезная красавица Марго, сбежавшая с "Белого лебедя" на Ямайке, нашла себе пристанище на островах Кьюри, где и одичала вместе со своим возлюбленным Хью-летом Бандерогой. Бандерога же перед бегством сумел ввести в заблуждение Бархатного Чарли, чем навлек на черепичные крыши Оук-порта град каленых ядер.

Битва продолжалась около трех часов. Островитяне, кое-чему научившиеся за истекшие столетия, смогли дать наглецам достойный отпор. Когда Бархатный Чарли очнулся в развороченном им до неузнаваемости трактире "Синька", к нему подвели юную Юкко-Паулину Йон, племянницу Маркуса Джереми.

- Не та ли это, кого вы искали, храбрый моряк?

- Собственно говоря, ничего общего,- прорычал Бархатный Чарли, потирая ушибленную рукояткой пистолета голову.- Да, собственно говоря, это и не имеет никакого значения...

Вот вам пример. Негодяи Бархатного Чарли, которые могли бы причинить столько горя жителям Цейлона, Бенгалии, Австралии и Чили (а именно такие были у негодяев планы), превратились на нашем архипелаге в мирных скобарей, виноградарей, рыбаков или просто в бездельников, а страшилище южных морей "Белый лебедь" стал "прогуливать" в своих трюмах местное вино "Горный дубняк" для придания ему должного вкуса.

Больше того, сам Бархатный Чарли, для которого в Британском адмиралтействе давно была свита пеньковая веревка, стал почтенным гражданином Оук-порта, а впоследствии первым президентом Республики Большие Эмпиреи и Кар-бункл. Именно он, Чарли-Велюр, завез на архипелаг любимую игру лондонской голытьбы, известную теперь всему миру под названием "футбол", и именно эта игра принесла ему неслыханную популярность.

Так на солнечных пляжах и в тенистых лесах формировалась прелюбопытнейшая нация Больших Эмпиреев и ее невероятный язык, вобравший в себя лаконичность кассио-пейского, певучесть малазийского, высокопарность португальского,

мужественность английского, образность пиратского жаргона и разные замечательные качества многих других лексиконов. Любой мизантроп, попав на архипелаг, становился оптимистом и шутником и растворялся в добродушном, веселом, немного ленивом, но талантливом местном населении. И только лишь самые отъявленные негодяи и мрачные скопидомы не могли прижиться на красивых островах. Они пересекали пролив и высаживались на базальтовые скалы единственного неприветливого острова до всем архипелаге - острова Карбункл. Их влекла туда дурацкая лживая легенда, которая и дала имя этому острову.

Легенда гласила, что Хьюлет Бандерога, перед тем как скрыться и одичать на архипелаге Кьюри, штормовой ночью высадился на этом острове и закопал где-то там невероятнейший драгоценный камень - карбункул - величиной со страусиное яйцо. Где мог достать свистун Бандерога такой ценный предмет, легенда не объясняла, да это и не нужно было тупым маньякам-кладоискателям. Пошлые призраки богатства и власти влекли этих людей на остров, базальтовые скалы которого напоминали гигантскую крепость. Более полувека шли поиски несуществующего "страусиного яйца", за это время на острове возникло некрасивое поселение, где, казалось, сам воздух был пропитан подозрительностью и злобой. Жители этого городка, носящего непривлекательное имя Стамак (Желудок), отличались большой физической силой, но были тупы и раздражительны. С веселыми и беззаботными эмпирейцами они не поддерживали почти никаких отношений, хотя и согласились войти в республику на правах автономной единицы.

Этот остров с его историей и населением был источником бесконечных анекдотов для всех жителей архипелага, но в то же время оставался сумрачной загадкой, своеобразным памятником кровавому и жестокому времени. Иногда до Оук-порта долетали через пролив звуки выстрелов, нестройное зловещее пение, но большей частью Карбункл хранил молчание.

Тем временем наступил просвещенный XIX век. Морские пути стали безопасными, мировая торговля бурно развивалась.

Большие Эмпиреи, расположенные в зоне пассатов, оказались удобным перевалочным пунктом для парусных караванов. Жизнь на архипелаге в те дни била ключом. Гавани благоустраивались, Оук-порт становился все богаче и импозантнее. Развивались ремесла и искусство. Архипелаг торговал с Европой, Азией, Африкой, Америкой и Австралией. Везде находили спрос эмпирейские товары: перья райских птиц, вино "Горный дубняк", пробковое дерево, копра, жемчуг, ароматические масла.

Тогда-то и появился у берегов архипелага кровожадный Рокер Буги, последний, если можно так выразиться, "пират классического типа". Базируясь на Карбункле, населению которого он пришелся весьма по душе, новоявленный пират нападал на караваны, идущие в Оук-порт, и нещадно их грабил. Увы, чудовище долгое время оставалось безнаказанным: морские министерства Португалии, Великобритании, Франции, Германии, Испании и Нидерландов спорили друг с другом. Едва одна из названных стран собиралась направить к архипелагу карательную экспедицию против Рокера Буги, как все остальные заявляли решительный протест. Все эти названные страны считали Большие Эмпиреи своей собственностью.

Наглость Рокера Буги дошла до того, что, явившись со своими головорезами в сенат, он низложил республику и объявил себя императором архипелага. И тогда беззаботные островитяне восстали. Единственный военный корабль, десятипушечный бриг "Рыцари ночи", ныне ставший кораблем-музеем, открыл огонь по пиратской эскадре, однако весь его экипаж был беспощадно вырезан в абордажном бою. Рокер Буги предал Оук-порт огню и мечу. Столб пламени стоял над городом, когда на горизонте появились паруса русского клипера "Безупречный", направляющегося на отдых в Оук-порт после картографической разведки островов Кьюри. Остальное известно уважаемому читателю.

Население Больших Эмпиреев вновь получило возможность для своего бурного процветания. Оно процветало до тех пор, пока паровые машины окончательно не вытеснили парус. Новые, некрасивые, но более надежные суда, не зависящие от

пассатных ветров и течений, проложили в океане другие пути, и Большие Эмпиреи оказались в стороне Редко-редко швартовались теперь суда в удобных гаванях Оук-порта.

Однако эмпирейцы не тужили. Да и чего им было тужить? Ведь море по-прежнему было прозрачным, и рыба в нем не перевелась, фруктовые деревья плодоносили по-прежнему, дубы, пинии и пальмы шелестели так же ласково, как и в прежние времена, и так же ласково подмигивало по ночам созвездие Кассиопеи.

Может быть, Володя Телескопов был отчасти и прав, может быть, эмпирейцам действительно было немного скучновато, но у них была большая всепоглощающая страсть - футбол, завезенный, если помните, сюда еще Бархатным Чарли. Они называли свою любимую игру "булоногом", а. игроков "легоперами". Они были убеждены, что обладают самой мощной командой мира, но у них никогда не хватало денег, чтобы съездить в Европу или в Южную Америку проверить свои силы, да они и не знали толком, что такое деньги.

Заманивая в свои гавани корабли разных стран, эмпирейцы вызывали их экипажи на булоножные поединки и обыгрывали с ужасающим счетом. Последний, например, матч с командой несчастного "Ван-Дейка" закончился со счетом 44 : 0 в пользу местных легоперов.

Так шла жизнь, и никто, или почти никто, из потомков облепившихся астронавтов, предприимчивых малазийцев, африканцев, мидинян, карфагенян, индусов, объевшихся викингов и раскаявшихся пиратов не подозревал о том, какие тучи собираются над их небольшой страной, никто, или почти никто, не мог вообразить себе события, о которых пойдет речь в следующих главах. Итак, читатель, внимание... Кстати сказать, эмпирейцы и сейчас до конца не понимают сложности современных денежных отношений. Огромная их красочная банкнота - велюр, напоминающая старинную гравюру с парусами, башнями и амурами, вызывает улыбки в банках всего мира. Карбункл, однако, завел себе собственную денежную единицу - клукс, которая обменивается на зуры в

сберкассе № 6 города Зурбагана.

ГЛАВА 6

в которой веселые голоса перемежаются злобными выкриками,
трещат мотоциклы и невнятно бубнит "резинщик"

- Странное дело, Николай,-сказал Геннадий Страто-фонтов капитану Рикошетникову. (Оставаясь наедине, Геннадий позволял себе называть своего старшего друга просто по имени.) - Происходит какое-то чудо, Николай. Мне кажется, что я начинаю, Николай, понимать эмпирейский язык. Взгляните, например, на этот, транспарант, Николай.

Друзья в густой толпе шли по вытертым до блеска мраморным плитам старого Оук-порта. В бесчисленных магазинчиках, лавчонках, барах и кафе главной улицы Пикока-банауэй кишела говорливая, возбужденная жизнь. Казалось, воздух наэлектризован ожиданием завтрашнего футбольного поединка. Посередине улицы приплясывающая толпа болельщиков несла огромный транспарант, на котором было начертано:

РИККО СИЛЛА МИЛАЗ АВАРА СПАРО КЭКС ХАВА
КЕМТ УРА КЭКС ХАВА ЛИПАНДРА! ХУХС РИККО СИЛЛА,
БЕСТАДО ЛЕГОПЕР ПЕЙСО!

- Рикко Силла заявляет, - переводил Геннадий, - наши соперники забьют столько голов, сколько смогут. Мы - сколько захотим! Да здравствует Рикко Силла, лучший футболист вселенной!

- Знаете, Гена, это очень странно,- сказал капитан,- но мне тоже кажется, что я что-то понимаю, а ведь этот язык не похож ни на один из знакомых мне языков.

- Вон та старушка в белом накрахмаленном чепце сейчас сказала старику в синих штанах "Не пора ли домой, Хусай?"- сказал Геннадий.

"Еще один стаканчик, и баста",- ответил ей на это старик,- смеясь,

подхватил капитан.- А вон та девушка, видите, рыжая девушка, говорит своей подруге: "Завтра я надену белые бусы.."

- Парень крикнул кому-то в толпе: "До вечера!"

- Продавец уверяет, что у него настоящий бразильский кофе...

- Давайте попробуем поговорить с кем-нибудь из них,- предложил Геннадий.

Друзья сквозь бамбуковую занавеску вошли в полутемную прохладную лавчонку. Толстый хозяин в красной майке с цифрой "9" на спине тут же закрутился возле них.

- Вилькамис, вилькамис, якшито немо!

- Пуззо, гай ле свитохлади,- попросил его Геннадий и тут же получил брусок мороженого в шоколаде.

- Пуззо, гай ле тубака пюр пипса, - попросил капитан и тут же получил коробку трубочного табака "Летучий голландец".

- Хава киста свитохлади ри тубака? - спросили друзья, имея в виду стоимость купленных предметов.

- Фуна велюр свитохлади, фуна велюр тубака,- сияя от счастья, ответил толстяк.

Капитан протянул ему две огромные местные банкноты с башнями, парусами, амурами, пушками и арбалетами,

- Нет-нет, только один велюр,- запротестовал торговец.

- Но вы ведь сказали, что мороженое стоит один велюр и табак стоит один велюр...

- Да-да, совершенно верно,- ответил толстяк, умиляясь догадливости иностранцев.

- А все вместе?

- Тоже один велюр!

- Та-ак...- почесал в затылке Рикошетников.- Позвольте тогда узнать, сколько стоит весь ваш магазин7

- Один велюр, - сказал хозяин.

- А вот эти игральные кости?

- Тоже один велюр!

- Да как же это так получается? - воскликнули разом пораженные друзья.

Толстяк смущенно хмыкнул и потупил глаза.

- Все иностранцы удивляются этому, господа, но... понимаете ли... он такой красивый, наш велюр...

- Благодарю вас. До свидания,- сказал капитан, засовывая в карман лишний велюр.

- Вилькамис. Вилькамис. Гретто, сенькьюри! Жуя мороженое и куря табак, друзья двинулись дальше. Они шли к зданию сената, где, как объяснили им в порту, должны были сегодня состояться большие дебаты до вопросу завтрашнего матча.

- Джин! Мой юный герой! - услышал вдруг Геннадий за спиной, и на плечо ему легла легкая, как куриная лапка, рука.

Пожилая леди Сьюзен Леконсфильд выглядела самым невероятным образом. Шея ее была унизана местными глубоководными жемчугами, мочки ушей были украшены пунцовыми серьгами, над седыми буклями колыхались перья райских птиц, а костлявые бедра были обтянуты ярчайшей эмпирейской мини-юбкой.

- Джин, сокровище мое, спасенные тобой создания сегодня через час улетают домой, в свою уютную квартирку, - лепета-ла старая леди.- Позволь мне поцеловать тебя, мой мальчик, мой рыцарь, мой хрустальный дельфинчик, мой...

Потрясенный- "хрустальным дельфинчиком", Геннадий подставил щеку и получил отличнейший поцелуй.

Капитан Рикошетников с галантностью, привитой ему еще в Высшем мореходном училище, поцеловал даме ручку.

- На местном дирижабле мы доберемся до Зурбагана, а там пересядем на "комету", - продолжала старушка. - Поцелуй же своего нареченного братца, мой мальчик.

Содрогаясь от отвращения, Геннадий поцеловал Винстона в слюнявую пасть.

Мопс вяло лизнул его в ухо. Геннадий заметил, что "нареченный братец" дрожит от страха и заглядывает ему через плечо. Он обернулся и увидел деловито идущего по мрамору Пушу Шуткина. Над котом, словно флаг, горделиво реял его выдающийся хвост.

- А, вон еще один член нашего экипажа,- улыбнулся капитан.

Пуша Шуткин вдруг взлетел на дождевую трубу, мелькнув на карнизе черным хвостом. Задержавшись на секунду на голове какой-то кариатиды. Пуша Шуткин обернулся к друзьям, развел передними лапами - извините, мол, дела, и тут же исчез.

Попрощавшись с леди Леконсфильд, друзья двинулись дальше. Извилистая Пикокобанауэй вдруг вытекла на довольно широкую площадь, в глубине которой высилось здание сената с коринфскими колоннами, готическими шпилями и лепкой рококо.

Перед сенатом высился величественный памятник предку ленинградского пионера "Адмиралу Серхо Филимоныч Страттофудо", как именовали его благодарные островитяне.

Скромный мужественный путешественник был изображен скульптором как бы на капитанском мостике, но одновременно и на коне. Его гордую голову, с лицом, исполненным благородного гнева, венчал крылатый шлем. Правой рукой Страттофудо поражал акулоподобного Рокера Буги, а левой защищал пышную улыбающуюся деву, символизирующую эмпирейскую свободу!

- О ужас! И это мой прапрапра...- прошептал Геннадий, вспомнив добродушный и даже несколько застенчивый взгляд фамильного портрета.

- Представляете, что здесь начнется, если обнародовать ваше происхождение, Геннадий? - засмеялся капитан.

- Умоляю вас не делать этого, Николай!-воскликнул мальчик. Скромность всегда была его отличительной чертой.

Рикошетников промолчал. До поры до времени он решил не волновать друга, не говорить ему о том, что он вместе с Хрящиковым и Шлиером-Довейко решили обнародовать его происхождение на завтрашнем футбольном матче, и сделать это было решено для расширения и углубления дружеских контактов.

Друзья поднялись по мраморной лестнице и скрылись в здании сената. Они уже не видели, как через пять минут на площадь с грохотом ворвались два десятка мрачных, затянутых в черную кожу хулиганов на мотоциклах. Они не видели, как хулиганы начали зловещее кружение вокруг памятника, поливая его желтой краской и отвратительной хулой, забрасывая яйцами и тухлыми крабами. Они не видели, как толпы возмущенных эмпирейцев пресекли эту неожиданную вылазку жителей Карбункла (а это были именно они) и покрыли их головы позором. В Чем же была суть этото странного инцидента? Оказалось, что на Карбункле вдруг вспыхнула яростная компания против футбольного матча. Жители Карбункла, для которых ранее один их жалкий клукс был дороже всего мирового футбола, которые до сего утра не слышали даже имен Пеле и Гершковича, вдруг выступили с яростными нападками на футболистов "Алеши Поповича" и послали лучших своих хулиганов для осквернения памятника русскому адмиралу.

А Геннадий и капитан Рикошетников сидели тем временем в галерее для гостей и наблюдали заседание сената Республики Большие Эмпирей и Карбункл.

Спикер сената возвышался над всем собранием, сидя по традиции на огромной бочке знаменитого "Горного дубняка". Одет он был также традиционно: бархатный камзол, дра-ные ботфорты, красная пиратская косынка на голове. Оба его глаза крест-накрест закрывали традиционные черные по-вязки. В руке он держал кремневый пистолет XVIII века, выстрелами из которого пресекал шум в зале.

Сенаторы же, их было ровно две дюжины, одеты были кое-как. Правая оппозиция, шесть представителей Карбункла, все были в черных суконных тройках, а остальные - в расстегнутых жилетах, в рубашках, иные так просто в майках. Президент республики Токтомуран Джечкин, явившийся на заседание

прямо с тренировки, был В доспехах футбольного вратаря. Среди этого странного общества изысканностью и строгостью наряда выделялась красивая статная дама с длинными черными волосами и лицом, словно вырезанным из слоновой кости.

- Кто эта дама, месье? - спросил Рикошетников оказавшегося по соседству вертлявого француза.

- Это женщина-сенатор мадам Накамура-Бранчевска, - зашептал сосед.- Вчера я удостоился быть приглашенным к ней на прием. Поверьте, месье, такой обаятельной и импозантной дамы не встретишь ни в Лондоне, ни даже в Париже. Говорят, что она происходит из рода де Клиссон...

Спикер выстрелил в потолок, вынул изо рта традиционный кляп и глухим голосом возгласил;

- Слово предоставляется господину президенту. Токтомуран Джечкин, подтягивая черно-бело-лиловые трусы, поднялся на трибуну.

- Господин спикер, господа сенаторы, господа! Вчера народ Эмпиреев приветствовал в своем порту советский фрегат "Алёша Попович"! Любимец нашего народа лучший футболист вселенной Рикко Силла первый коснулся борта этой бригантины.

Советская каравелла, господа, занимается в океане наукой, но это нас, слава богу, не касается. Мы будем счастливы встретиться с легоперами этой далекой и, как утверждают, большой страны, команда которой заняла пятое место на так называемом первенстве мира в Англии.

Господа, вы знаете, что сила удара левой ноги Рикко, Силлы равна одной, тысяче пятистам килограммам, тогда как, удар пресловутого, но уважаемого всеми нами Пеле весит всего лишь восемьсот килограммов. Какое же может быть первенство без команды Больших Эмпиреев?

Трибуны для публики взорвались бешеным восторженным ревом. Спикер выстрелил в потолок.

- От себя, лично, господа,-продолжал президент,-я заявляю. В завтрашнем

матче я парирую восемь пенальти и вытащу столько же мячей из "девятки". Лозунг Рикко Силлы вам известен. Уверен, что сенат единогласно одобрит встре-, чу наших легоперов с советскими футболистами, прибывшими к нам на галеоне "Алеша Попович". Я кончил, господа!

Спикер снова пальнул в потолок.

- Слово имеет старейшина Совета Копальщиков острова Карбункл достопочтенный кавалер Ордена Счастливой Лопаты полковник Бастардо Мизераблес ди Порк-и-Гусано.

На трибуну поднялся высокий мощный мужчина лет сорока с банановидным носом, лохматыми гусеницами бровей, похожим на утюг подбородком и странными на этом фоне тоненькими усиками. Лицо этого господина показалось знакомым Геннадию и Рикошетникову, но вспомнить его они не смогли. Как-то очень уж не связывались между собой сенат далекой неведомой страны и милый сердцу, проступающий сквозь снег вид Ленинграда... Кировский мост, Петропавловка, памятник Суворову...

Бастардо Мизераблес ди Порк-и-Гусано грохнул страшным кулаком по трибуне и эавопил на карбункулском наречии эмпирейского языка:

- Вжыл жыз всплых сиплствоу! Черчелянто ри фларт! Газзо азаф Карбункл жрав Эмпирея гам, га фула, брегадл!..

Грубая речь его была почти непонятна нашим морякам. Уловить можно было лишь отдельные бранные слова: трусы, предатели, лентяи, провокаторы, идиоты, коварные происки и тому подобное. Ясно было одно: кавалер Ордена Счастливой Лопаты яростно протестовал против дружеского спортивного поединка, обвинял и угрожал.

Никто не ожидал такого поворота дела. Изумленные сенаторы левого крыла и центра вскочили, размахивая руками. Шум на галереях для публики поднялся невообразимый. Круглый, как мяч, седоватый сенатор в красной футболке с цифрой "3." одним прыжком взлетел на трибуну и закричал:

- Позор недостойным копальщикам Карбункла! Вам не поссорить нас со славными ребятами, не дрогнувшими даже перед лицом бандитской подлодки! Занимайтесь своим делом, копите свои грязные клуксы и не лезьте в чистый футбол! Да здравствует дружба! Да здравствуют посланцы страны нашего героя Серхо Филимоныч Страттофудо!

Шум усилился еще больше. Полдюжины черных сюртуков сиплыми глотками рявкали какую-то гадость. Спикер палил уже из двух пистолетов. И тогда, слегка поправив свои дивные волосы, встала мадам Накамура-Бранчевска. Все мгновенно затихли. Видимо, вес этой женщины в эмпирей-ском обществе во много тысяч раз превышал ее собственный вес, вполне соответствующий изящным парижским стандартам.

- Господа,- мягким глубоким голосом сказала женщина-сенатор,- Никто из присутствующих не упрекнет меня в презрении к футболу. Все помнят, что именно я открыла счет в матче с командой австралийского авианосца "Кукебурре". В это же время остров Карбункл отлично знает, с каким уважением я отношусь к его трудолюбивому мужественному населению. По этим двум причинам я воздерживаюсь от голосования и приглашаю всех присутствующих на мой сегодняшний вечер "Вальс незнакомых цветов".

Очаровательно улыбнувшись, она села. В зале царило недоуменное молчание. Позиция влиятельной дамы явно всех озадачила.

- Начнем голосование? - сквозь традиционный кляп еле слышно произнес спикер.

- Начнем! Начнем!-послышались неуверенные голоса. Президент Токтомуран Джечкин крикнул со своего места.

- Господа я забыл добавить! Рикко Силла сегодня ударом головы выворотил штангу!

Взрыв энтузиазма погасил последние сомнения

- Голосуем, и дело с концом!

И тогда правая оппозиция прибегла к последнему ковар-ному способу погасить волю народа. Она выпустила на трибуну так называемого "резинщика". Все в зале поняли, что это значит, когда "резинщик" начал с первой страницы читать "Хартию вольностей" толщиной в мраморную плиту, а под рукой у него еще были "Ветхий завет", "Коран" и "Антология мирового фольклора". Увы, таков был закон ампи-рейского сената - оратор мог выступать столько, сколько хотел, а "резинщик" с Карбункла, видимо, собирался выступать не меньше четырех дней. Сенат же не мог проголосовать, пока он не кончит.

- Поразительно,- прошептал капитан Рикошетников,- к этому средству в буржуазных псевдодемократиях прибегают только в крайнем случае. Никогда не думал, что футбольный матч вызовет такие страсти. Что все это значит и кому все это нужно?

Прошел час. В зале уже слышалось носовое посвистывание засыпающих сенаторов. Спикер, свернувшись в клубок, спал на своей бочке. А "резинщик" все бубнил и бубнил:

- ...Итак, параграф седьмой пятого подпункта установления о торговле гласит, что производство пуговиц разрешается при предъявлении определенного числа доказательств о возможности такого производства, обусловленных пунктом "а"...

- Пойдемте в порт, Геннадий,- сказал Рикошетников. -Дело ясное, что дело туманное.

Он обернулся и увидел, что мальчика рядом с ним нет.

ГЛАВА 7

из которой доносятся до нас стук теннисного мяча и страшный хруст,
с которым мощные челюсти разгрызают клешни омара

Первое, что услышал Геннадий, очнувшись, был звук, похожий на грохот работающего рядом отбойного молотка. Потом лопатки его ощутили холод

каменного пола. Глаза устремились вверх, и мальчику показалось, что он лежит на дне глубокого каменного колодца. Голова закружилась.

- Где я? Что со мной?

Геннадий приподнялся на локтях и осмотрелся. Нет, это был не колодец, скорее старая узкая крепостная башня. Сте-ны грубой кладки уходили вверх. Сквозь стрельчатое окно на самом верху, скорее похожее не на окно, а на мушкетную бойницу, узкая полоса яркого солнечного света косо шла вниз и падала на привалившегося к стене дюжего детину в штанах военного образца и в белой майке со штампованными автографами кинозвезд. На коленях детины лежал тупорылый автомат-люгер. Детина храпел, и именно этот храп создавал впечатление работающего рядом отбойного молотка.

Через секунду Геннадий вспомнил все. Он вспомнил, как, утомленный нудным завыванием "резинщика", тихо покинул галерею для гостей и решил прогуляться по зданию эмпирейского сената.

Он шел гулкими сводчатыми коридорами, разглядывал стоящие в нишах фигуры средневековых воинов, входил в пустые залы и смотрел на огромные картины, поразительно напоминающие эмпирейскую банкноту велюр.

Открыв очередную дверь, Геннадий запутался в каких-то тяжелых шторах. Пытаясь выбраться из парчовых складок, он услышал негромкие мужские голоса и наконец увидел в щелку трех джентльменов, развалившихся в креслах и прихлебывающих из высоких стаканов янтарное виски. Он хотел было уже с извинениями удалиться, как вдруг услышал...

- Этот идиотский футбольный матч не должен состояться ни в коем случае,- сказал тихо голубоглазый блондин с очень странным утиным носом.- И вообще советскому кораблю нечего делать возле архипелага.

- Видите ли,мистер Мамис,- обратился к утконосому глыбоподобный господин,- меня самого и всех нас, копальщиков, тошнит от футбола и разных других выходок этих эмпирейских недоносков, но... понимаете ли... русские популярны в республике, а этот их кумир Серхо Филимоныч Страттофудо... а от

футбола они сходят с ума... Может быть, дадим им сыграть эту игру и уже потом...

- Вы здесь на своем архипелаге совсем оторваны от мировой политики! - резко прервал его утконосый.- Мясо, господа, нужно отмочить в соусе, прежде чем нанизать на вертел!

Джентльмены гулко расхохотались и подняли стаканы.

- За мистера Кингсли Брейнвена Мамиса из страны, которая ценит юмор, но не любит шутить!-провозгласил глыбоподобный.

- За наше дело, господа! - сказал, как бы подводя итог, мистер Кингсли Брейнвен Мамис.

В это время стальные пальцы сзади обхватили горло Геннадия, и не успел он опомниться, как был втащен внутрь кабинета. Джентльмены вскочили. Мамис мгновенным дви-жением сунул руку за пазуху.

- Мне пришла нужда прогуляться, господа,- прогудел над Геннадием грубый голос,-Возвращаюсь, смотрю- мальчишка...

- Кто ты такой, щенок?! - завизжал не своим голосом глыбоподобный, суя под нос Геннадию кулак, усеянный огромными перстнями.

- Здесь не место разбираться, Латтифудо,- быстро проговорил Мамис, открыл черный портфельчик "атташе" и, зажав себе нос платком, брызнул из какой-то стеклянной трубочки едкой жидкостью в лицо Геннадию.

Последнее, что слышал мальчик как сквозь вату, были слова:

- Отправьте его куда следует...

"Сколько же времени я был без сознания? - подумал сейчас Геннадий.- Час. два, может, сутки?"

Он осторожно встал и подошел к храпящему охраннику. Тот не шелохнулся. Тяжелый дух дешевого джина витал над ним. Геннадий снял с колен парнюги автомат, перекинул его через плечо и посмотрел вверх. В стене кое-где намечались выступы, видимо остатки винтовой лестницы, которая в свое время

вела на боевую площадку.

Вспомнив уроки скалолазанья, которые когда-то в Крыму преподал ему папа Эдуард, Геннадий стал карабкаться вверх. К счастью, на ногах у него были легкие туфли на каучуковой подметке. Прошло несколько мучительных минут, прежде чем он оказался перед бойницей. Прямо над ним вниз головой висели мешочками несколько летучих мышей.

Протиснуться в бойницу было делом нелегким, но и оно оказалось по плечу мальчугану. Он выбрался наружу и встал, прижавшись спиной к стене, на каком-то витиевато изогнутом выступе, видимо остатке орнамента, некогда венчавшего башню. Огромное пространство открылось перед ним. Окинув его взглядом, Геннадий чуть не закричал от ужаса. Шпили Оук-порта едва виднелись на горизонте. Сверкающий на солнце пролив шириной в несколько миль частично был скрыт близким, невысоким, но устрашающе мрачным хребтом, похожим на спину динозавра. Мальчик понял, что он находится на острове Карбункл.

Головокружительные секунды отчаяния... Как далек от него сейчас родной "Алеша Попович", капитан Рикошетни-ков, Шлиер-Довейко, Хрящиков, Верестищев, Барабанчиков, Телескопов, Есеналиев, Калипсо - люди, с которыми любая беда - не беда... И они ничего не знают о нем! Они даже не могут предположить, где он сейчас.

Однако надо действовать. Надо попытаться выбраться из этой непонятной зловещей истории.

Башня была высотой не менее двадцати пяти метров. Внизу клубилась какая-то зелень, но под зеленью, возможно, были скрыты острые камни. Прыгать прямо вниз было безумием. Попытаться соскользнуть по стене? Стена была словно отполирована многовековыми ветрами. Вот метрах в пяти-шести верхушка мощного дерева, с ветвей свисают лианы. Попробовать по-тарзаньи? Единственный выход, несколько шансов из ста.

Сильно оттолкнувшись, Геннадий полетел вниз. Вот замелькали мимо рук спасительные лианы. Неужели конец? Р-раз! Руки обожгло огнем. Геннадий

закачался на лиане. Автомат больно ударил по крестцу. Проклятый автомат! Надо было его сбросить к чертям подальше.

Под тяжестью мальчика лиана стала растягиваться, и Геннадий, словно с парашютом, вспоминая уроки мамы, опустился на пружинящий дерн.

Вокруг была тишина, только птицы кричали на разные голоса, да издалека доносился граммофонный шлягер "Крошка, не задавайся, крошка, лучше сознайся, крошка, не забывайся, иначе поколочу, чу-чу-чу!"

Геннадий отвалил от подножия башни какой-то камень, положил автомат в ямку и забросал его сухими ветками и листвой. Кто знает, что ждет впереди?

Осторожно пробираясь сквозь кусты, мальчик направился в сторону пролива. Он рассчитывал пересечь хребет, спуститься к морю, найти там какую-нибудь лодку и попытаться добраться до Оук-порта. Несколько раз ему пришлось проходить под замшелыми каменными арками, сбегать по ступеням заброшенных лестниц, но ни разу ему не встретилось ни души.

Вдруг до слуха его донеслись гулкие звуки, похожие на удары по теннисному мячу. Кто мог играть в теннис в этом логове темных и подозрительных людей? Геннадий уже знал, что единственный спорт на Карбункле - это копание ям. Кто быстрее выкопает яму, тот и чемпион.

Прячась за валунами, короткими перебежками, чуть ли не ползком, Гена направился на эти звуки. Звуки становились все громче. Сомнений не оставалось - это был теннис Внедрившись в кусты азалии, мальчик подполз вплотную к проволочной загородке идеального травяного корта, расчерченного по всем правилам и с туго натянутой сеткой.

На корте в полном одиночестве девочка его лет била мячом в стенку. Удары были резкие, частые, и реакция у девочки была что надо. Но вот она промахнулась, мяч пролетел мимо ракетки и подкатился чуть ли не к Гениному носу.

Геннадий хотел было уже ящерицей скользнуть в азалии глянул и остолбенел. Прямо на него бежала вприпрыжку румяная и надменная... Наташа Вертопрахова.

Да, это была она: тот же "конский хвостик", болтающийся на затылке, и вся стройная сущность большеглазого морского конька.

Она нагнулась за мячом и вдруг увидела лицо Геннадия Несколько секунд мальчик и девочка не отрываясь смотрели друг на друга.

- Ну, чего? - спросила наконец Наташа, сдвинув брови к переносице. Говорила она по-эмпирейски.

- Ничего,- ответил Геннадий. Греха таить нечего, он был растерян.

- В теннис-то небось не играешь?- спросила Наташа.

- Играю,- пробормотал Геннадий.

Наташа вдруг звонко рассмеялась

- В теннис он играет! Ах ты, крот несчастный! А ну-ка лезь сюда.

Геннадий, совершенно забыв об опасности, которая подстерегала его здесь на каждом шагу, перелез через заборчик. Наташа бросила ему ракетку. Он поймал ее на лету и встал на правой половине площадки.

- Ну, держи, крот! - крикнула Наташа, слабея от смеха, и сделала легкую подачу.

Геннадий мощным драйвом погасил мяч.

- Что такое? - округляла глаза Наташа. У тебя совершенно профессиональный драйв.

- Тренируюсь с восьми лет, - тихо ответил Геннадий. Скромность, как уже было сказано, была его самой отличительной чертой.

Девочка подошла к сетке. Геннадий тоже приблизился.

Он уже понял, что это не Наташа, а лишь ее копия, правда совершенно точная.

- Ты разве не из кротов? - спросила девочка.

- То есть?..- удивился Геннадий.

- Ну что, не понимаешь? Разве ты не с Карбункла? Впрочем, конечно, ты не с Карбункла. У тебя такой странный выговор...- Она поморщила лоб.-

Иностранец, что ли?

- Я...- пробормотал Геннадий,- я англичанин...

- Фантастика! - воскликнула девочка.- Как ты сюда попал? Кроты не пускают в этот район острова ни одного иностранца.

- Я... я гулял и вот...

- Ладно, давай играть,- сказала девочка.- В этой дыре я совсем потеряла класс, а скоро у нас в Оук-порте чемпионат.

Геннадий осмотрелся. Дубы вокруг корта безмятежно шелестели, заросли азалии были непроницаемыми, дорожка, покрытая цветной плиткой, просматривалась далеко...

- Только один сет, - сказал он.

Девочка протянула ему свою руку и назвала свое имя:

- Доллис.

- Джин,- представился Геннадий, вспомнив леди Леконсфильд.

Они начали играть и сыграли не один сет, а всю партию. С большим трудом в последнем сете Геннадию удалось сломить сопротивление Доллис. Чуть остыв от спортивного азарта, он подумал, что девочка, должно быть, раздосадована проигрышем. Ничуть не бывало - Доллис была весела и довольна.

- У вас в Англии все так играют?

- Через одного, - улыбнулся Геннадий.

- Слушай, Джин, как ты все-таки здесь оказался?

Геннадий внимательно посмотрел на девочку. Ему показалось, что ей можно открыть правду, что она может ему помочь, но все же решил быть осторожным.

- Я... я заблудился...

- Тебе нужно в Стамак? - спросила Доллис, - Пойдем, покажу дорогу.

- Покажи мне лучше кратчайший спуск к морю,- сказал Геннадий- Мне нужно попасть в Оук-порт.

Они уже давно говорили по-английски. Вот где пригодились мальчику его усердные занятия этим языком.

- Не собираешься ли ты переплыть пролив? - со смехом спросила Доллис.

- Вот именно.

- У тебя есть знакомые среди акул?

- Мне нужно переплыть пролив, Доллис,- тихо и серьезно сказал Геннадий.

- Из Стамака каждые два часа ходит паром.

- Мне нельзя в Стамак, Доллис... Девочка снова весело рассмеялась.

- Какая таинственность! Таинственный англичанин!

- Доллис, я не шучу...

- Ну, пойдем, пойдем! Я покажу тебе спуск к морю.Она вдруг хлопнула себя ладошкой по лбу.- А хочешь, вместе переплывем в Оук-порт на каноэ? Блестящая идея! Тото взорвется моя мамочка!

Сердце Геннадия глубоко забилось. Каноэ? О чем еще он мог мечтать?

А Доллис, увлеченная своей идеей, схватила его за руку и повлекла по разноцветным плиткам.

Они бежали по извилистым дорожкам огромного парка, мимо неохватных стволов удивительных реликтовых растений, мимо скульптур, беседок, фонтанов, мимо фантастических цветов. По дороге Доллис без умолку трещала. Как ей хочется побывать в Англии, вообще поездить по миру, увидеть Лондон, Нью-Йорк, Москву, Париж... Мать ее путешест--вует бесконечно, но никогда не берет Доллис с собой. В конце концов Доллис возьмет вот и убежит из дому!

- Чей это парк, Доллис? - на бегу спросил Геннадий Стратофонтов. Его поразило то, что во всем этом огромном парке они не встретили ни одного человека.

- Наш,-ответила девочка.

- Чей?

- Наш. Ну моей мамы...

- Весь парк ваш? А экскурсии сюда приезжают?

- Еще чего! - презрительно фыркнула Доллис.- Экскурсии!

Несмотря на напряженность момента Геннадий подумал:

"Вот он - капитализм! Кучка людей владеет огромными ресурсами природы!"

Они нырнули под красивую арку, пробежали полутемным тоннельчиком, и перед ними сразу за балюстрадой распахнулось пространство: скалы, море, приблизившийся изломанный гребень Оук-порта. Пролив пересекало белое судно, верхняя палуба которого была покрыта ярким тентом.

- Мама возвращается,- махнула Доллис рукой в сторону судна.- Вчера она давала в столице прием.- Доллис напыщенно и жеманно произнесла, словно передразнивая кого-то: - "Вальс незнакомых цветов", господа! Не правда ли, прелестно? "Вальс незнакомых цветов"!

Так вот оно что!.. Геннадий едва смог скрыть свое изумление. Он вспомнил длинные черные волосы и словно выточенное из слоновой кости лицо женщины-сенатора. Бал был вчера! Значит, он валялся без сознания чуть ли не сутки?

- Я слышал вчера про этот прием,- сказал он.- Твоя мама мадам Накамура-Бранчевска?

- Ну да. Как ты догадался, Джин?

- Я видел ее в сенате.

- Ты не думай, что она всегда такая важная, она хорошая, только...- Доллис быстро посмотрела на него.- Красивая, а?

- Не хуже Софи Лорен, ~ сказал он.

Девочка расхохоталась.

- Ну, ты, я вижу, знаток! Ладно...- Она показала с ба-люстрады вниз.- Видишь тропинку между скал? Спустишься по ней, там будет маленькая бухта. Разбойничья бухта. Жди меня там, а я подгоню каноэ. Идет?

Не успел Геннадий кивнуть, как за спиной его раздался страшный вопль.

- Вот он! Вот он, ребята!

Геннадий стремительно обернулся. Из тоннельчика прямо на него бежал детина в майке с автографами кинозвезд, а за ним еще трое узколобых квадратных парней, и все с

оружием в руках.

Изумленная Доллис увидела, как юный англичанин молниеносным приемом дзю-до сбил с ног огромного парня, вскочил на барьер балюстрады и упал вниз лицом под ударом пистолетной рукоятки. Два грузных тела навалились на мальчика. В мгновение ока руки его были скручены мотком проволоки.

Доллис вскрикнула и влепила пощечину одному из громил.

- Как вы смеете, кроты? Кроты несчастные! Кто вам разрешил врываться в наш парк? Вон отсюда! Отпустите его немедленно!

Детина, сбитый Геннадием, кряхтя, поднялся. На тупом его лице застыла кривая хулиганская улыбка.

- Этот парень, молодая госпожа, задержан по приказу Совета. Он сбежал сегодня из Мушкетной башни. Люгер мой спер, молодая госпожа- Он обернулся к Геннадию и схватил его за грудки:- Где моя пушка, гаденыш?

Доллис и его огрела пощечиной.

- Ручка у вас тяжелая, молодая госпожа, - ухмыльнулся детина.

- У моей мамы рука потяжелее! - крикнула Доллис и вдруг заплакала в три ручья- Джин, Джин, что это такое?

- Я не знаю, что они от меня хотят, Доллис,- проговорил Геннадий,- Это какое-то дикое недоразумение...

- Наше дело маленькое,- ухмыльнулись битюги.- Приказ есть приказ.

Подталкивая Геннадия в спину автоматами, они повели его через парк. По дороге они шумно обсуждали подробности погони и схватки. Должно быть, они казались себе героями. Детина в майке с автографами хлопнул мальчика по плечу даже с некоторым добродушием:

- А здорово ты меня с катушек сбил, малец!

- Ай донт андерстенд,- сказал Геннадий.-Я не понимаю вашего языка.

- Ладно, ладно, топай!

Его вывели из парка и повели по покрытой щебенкой дороге, петляющей среди

выветрившихся рыжих унылых скал. Шагая по этой раскаленной дороге, Геннадий лихорадочно обдумывал ситуацию.

Ясно одно: он в руках какой-то банды. Ясно также, что эта банда плетет заговор против эмпирейцев и против научного корабля. "Мясо надо отмочить в соусе, прежде чем нанизать на вертел..." "Советскому кораблю нечего делать возле архипелага..." "Нужно покончить с этим кумиром Серхо Филимоныч Страттофудо..." Ясно, что главари банды боятся, что он подслушал их секреты.

Если он откроется им и скажет, что он советский пионер, потребует, чтобы его отправили на "Алешу Поповича", если они еще догадаются, что он потомок эмпирейского памятника... Это может кончиться плохо. Может быть, он - единственный честный человек, прикоснувшийся к заговору? Кто знает, что грозит этим простодушным, веселым эмпирейцам и его товарищам, морякам и ученым?..

Надо попытаться обмануть их. Он англичанин Джин Стрейтфонд, он ни слова не понимает по-эмпирейски, он ничего не слышал. Ему нужно добраться до Оук-порта, чтобы...

- Эй, стой! - грубым голосом прервал размышления Геннадия один из конвоиров. Он взял Геннадия за плечо и залепил ему глаза широким пластырем.

После этого Геннадий двигался в полнейшей темноте. Он слышал, как скрипели какие-то двери, ему казалось, что его ведут по узкому сырому коридорчику, потом был долгий спуск по скользким ступенькам, толчок в спину... Пластырь содрали, и Геннадий увидел выбеленные стены, небольшое окно, забранное стальной решеткой, за которым виднелось только море и небо. В кресле сидел, развалясь, глыбоподобный господин Латтифудо. Солнце играло в массивных перстнях на его руке, тонкий лучик шел от уха, от золотой серьги.

- Кто ты такой, мальчишка? - спросил Латтифудо с некоторой томностью и усталостью.

- Ай донт андерстенд, сэр,- ответил Геннадий. Ай эм инглишмен, сэр,

житель Лондона, турист...

- Вона-а,- вяло удивился Латтифудо, поморщился словно от головной боли и снял телефонную трубку.- Але, Фук, щенок-то англичанин, по-нашему ни бельмеса не понимает... Чего? Э-э... Так? - Он бросил трубку и вдруг заорал на Геннадия, наливаясь кровью: - Притворяешься, паразит? На архипелаге сейчас нет ни одного английского туриста!

Орал он по-английски с грубым акцентом.

- Видите ли, сэр, я с того самого несчастного теплохода "Ван-Дейк", нас спасли русские...

- Что-о? - Латтифудо даже приподнялся от изумления.- Ты, значит, с "Ван-Дейка"? Эге-ге...

- Я путешествовал со своей бабушкой леди Сьюзен Леконсфильд. Бабушка улетела на родину, а я остался. На русском судне, сэр, мой багаж...

- Эге-ге... ге-ге-ге...- проговорил Латтифудо и заглянул мальчику в глаза с веселостью, от которой повеяло какой-то жутью. Потом снял трубку.- Фук, малый-то с "Ван-Дейка". Ага. Так. Ну ясно! Грумло! - гаркнул он, и в дверях вырос детина в майке с автографами.- Кончай с этим пацаном.

Грумло поставил автомат на боевой взвод и кивнул Геннадию:

- Пошли.

"Неужели конец?" - подумал Геннадий. Страха не было, он словно одеревенел.

Зазвонил телефон. Латтифудо вяло снял трубку и вдруг вскочил, вытянулся во фрунт.

- Слушаюсь! Так! Так точно, здесь! Грумло, отставить! Так, все понятно. Немедленно приступаю.

Он подошел к мальчику, развязал ему руки, посадил в кресло, погладил по голове и ласково прожурчал:

- Хлопот с тобой полон рот, малыш...

После этого, что-то шепнув Грумло, он вышел из комнаты. Теперь все тело

казалось Геннадию ватным. Страшная усталость и апатия охватили его.

Грумло поставил автомат на предохранитель, подмигнул Геннадию и глупо заржал.

- Ну, ты меня здорово сбил с катушек, парень! Как прием называется?

- Пошел к черту, ублюдок,- сказал Геннадий этому получеловеку, который несколько минут назад мог влепить ему пулю в затылок.

Усталость брала свое. Геннадий начал было уже дремать, когда открылась дверь и вежливый голос позвал ею:

- Мистер Стрейтфонд, пожалуйте сюда!

Несколько маршей узкой сырой лестницы, все глубже и глубже, два еле освещенных перехода. Открылась кованая дверь, и Геннадий оказался в обширном помещении, освещенном мягким светом неоновых трубок. В помещении стояли мягкие кожаные кресла, стены украшали дубовые панели. Это было бы похоже на салон пассажирского судна, если бы не пульты радиостанции, за которыми сидели двое мужчин.

Навстречу Геннадию шел с протянутой рукой любезно улыбающийся мистер Кингсли Брейнвен Мамис.

- Ах, дорогой мистер Стрейтфонд, какая получилась чепуха, какое недоразумение! - сказал он,- Ну просто скандал...

- Я сам ничего не понимаю, сэр,- сказал Геннадий,- Я гулял по зданию сената, открыл какую-то дверь, запутался в драпировке, и вдруг меня схватили за горло, сэр...

- Эта дурацкая охрана, мистер Стрейтфонд,- прожурчал Мамис.- Вы должны нас извинить. Нравы этой страны, понимаете ли... Засунули вас в средневековую башню, эти неотесанные чурбаны...

- Да-да,- кивнул Геннадий.

- Но зачем вам понадобилось бежать, мой друг? Объяснили бы все и...

- Я ничего не понимал, сэр,-пробормотал Геннадий.- Я не понимаю этого языка. Я не знал, в чьих я руках, сэр.

- Да, да... А автоматик, мистер Стрейтфонд?

- Выкинул его куда-то в кусты, сэр...

Вошел запыхавшийся Латтифудо и доложил Мамису:

- Все в точку. На "Ван-Дейке" была зарегистрирована леди Сьюзен Леконсфильд с внуком.

- Хорошо,- кивнул Мамис, пытливо вглядываясь в лицо Геннадия, видимо пытаясь понять, понимает ли он по-эмпирейска.

Усилием воли Геннадию удалось сохранить безучастное выражение лица, хотя он был поражен: леди Леконсфильд была зарегистрирована на "Ван-Дейке" с внуком? В следующий момент Геннадий догадался: старая чудачка называла своим внуком мопса Винстона, его она и внесла в списки пассажиров. Какая удача!

- Мне показалось, сэр, что джентльмен назвал имя моей бабушки,- вежливо обратился он к Мамису.

- Наведены справки, мистер Стрейтфонд.- Кингсли Брейнвен Мамис лучезарно улыбался.- Ваша бабушка благополучно прибыла в Лондон. Вы можете сейчас поговорить с ней по телефону.

- Как? Прямо отсюда? - удивился Геннадий.

- Да, наши радисты мигом соединят вас с вашей лондонской бабушкой. Не забыли телефончик, мистер Стрейтфонд?

Геннадий понял, что его подвергают последней проверке. К счастью, он помнил номер леди Леконсфильд, но старуха, сама того не зная, могла его запросто выдать.

- Благодарю вас, сэр, но в этом нет нужды,- небрежно махнул он рукой. Ничего, мол, с бабкой не случится.

- В этом есть нужда, мистер Стрейтфонд,- сказал Мамис, глубоко заглянув в глаза мальчику, словно пытаясь по-змеиному проползти в его сущность.- Это просто необходимо, юный мистер Стрейтфонд.

Да, в чем нельзя отказать моему герою - это в присутствии волевых качеств.

- Ну, если вы настаиваете...- улыбнулся он.- Наш телефон Виктория 3-27-38.

Прошло несколько минут, прежде чем один из радистов протянул Геннадию трубку. В трубке очень отчетливо слышался дребезжащий голосок.

- Сьюзен Леконсфильд у телефона...

- Бабушка! - закричал Геннадий.- Это говорит твой внук Джин. Твой... хрустальный дельфинчик. Не волнуйся, я звоню тебе с Эмпирейских островов... Как себя чувствуешь, милая бабушка?

Последовала пауза, потом в трубке послышались хлюпающие звуки, перерастающие в рыдание, сквозь которые едва можно было разобрать отдельные слова:

- Джинни, мой мальчик!.. Внучек!.. Да, я, твоя бабушка, слушаю тебя... рыдаю вместе с Винстоном... дитя мое... хрустальный мой дельфинчик...

Геннадий заорал изо всех сил:

- Бабушка, не волнуйся за меня! Я попал здесь в какую-то странную историю...

Расчет этот оправдался. Мамис после последних слов немедленно прервал разговор.

- Связь оборвалась, мистер Стрейтфонд,- развел он руками.- Не мудрено, такое огромное расстояние...

- Большое вам спасибо, сэр,- прочувствованно сказал Геннадий.- Честно говоря, я очень волновался за бабушку. Честно говоря, сэр, ведь я в последнюю минуту...- Геннадий замялся.

- То есть попросту...- Мамис изобразил пальцами бегущего человека. Видно было, что он полностью поверил в легенду Геннадия.

- Попросту драпанул, сэр,- весело расхохотался мальчик.- Вы знаете, я был потрясен вашим архипелагом, мне захотелось подольше побыть здесь... Эти бастионы Оук-порта, Карбункл, сам похожий на крепость... легенды о бесстрашных пиратах...

- Увлекаешься пиратами, малыш? - снисходительно усмехнулся Мамис.

- Есть немного, сэр. С детства мой кумир - великий адмирал Рокер Буги.

- Вон что! - Мамис загадочно улыбнулся. В голубых глазах его мелькнул огонек.- В Оук-порте его не очень-то любят...

- Правда? - наивно удивился Геннадий.

Зазвонил телефон. Мамис снял трубку:

- Да. Все сошлось. По-моему, наивный дурачок. Есть, Фук, не волнуйся. Пока. - Он повесил трубку и хлопнул Геннадия по плечу: - А ты, оказывается, ловкий паренек, Джинни-бой! Уже успел познакомиться с Доллис! Мадам Накамура-Бранчевска разносит из-за тебя наше начальство. Требует, чтобы тебя немедленно доставили на ее виллу. Поехали.

В шесть часов вечера свежий, отдохнувший элегантный юный денди Джин Стрейтфонд явился в сопровождении слуги к ужину на открытую веранду виллы Накамура-Бранчевской.

Веранда висела прямо над морем на стометровой высоте. В центре ее был сервирован стол на четыре персоны. Вокруг стола хлопотали три подтянутых официанта в белых куртках с золотыми пуговицами. Подсобный стол в углу веранды сверкал хрусталем, серебром, кубиками льда. На роскошном ложе из свежайшей зелени распластался гигантский омар.

Официанты молча вытянулись перед Геннадием, а Геннадий вздрогнул, вновь увидев перед собой Наташу Вертопрахову. Ну до чего же была на нее похожа Доллис Накамура-Бранчевска!

Девочка, сменившая свой любимый наряд - белые шорты и гавайскую рубашку - на строгое платье, подбежала к нему.

- Привет, Джин! Проклятые кроты, из-за них лопнула наша гениальная идея с каноэ! Чего они хотели от тебя7

- Послушай, Доллис, -Тихо сказал Геннадий,-ты никому не говорила, что я понимаю по-эмпирейски?

- Нет, а что?

- Прошу тебя никому об этом не говорить... Глаза Доллис сузились, она зашептала:

- Какая-то тайна, Джин, да? Расскажи мне, не бойся...

- Я все тебе расскажу позднее,-сказал Геннадий,- Сейчас важно хранить молчание.

-Договорились, Джин!

К веранде приближалась мадам Накамура-Бранчевска под руку с высоким мужчиной, в котором Геннадий узнал свирепого сенатора Бастардо Мизераблес ди Порк-и-Гусано.

Теперь он был сама благовоспитанность и любезность, а от красоты Накамура-Бранчевской у Геннадия просто захватило дух.

- Терпеть не могу этого типа,- сказала Доллис, хмуро глядя на приближающегося председателя Совета Копальщиков острова Карбункл, кавалера Ордена Счастливой Лопаты и полковника.- Худший из всех кротов. Ишь ты, повадился к нам...

Мадам одарила мальчика ослепительной улыбкой и протянула руку. Мгновение поколебавшись, Геннадий поцеловал изящную конечность.

- Мы очень рады видеть вас гостем, Джин,- сказала мадам. ~

Покойный ваш дед и его фирма зубных протезов известны всему деловому миру. Доллис говорила, что вы прелестно играете в теннис. Надеюсь, вы простили этих неотесанных местных служак. Поверьте, им досталось на орехи от полковника и от меня. Прошу к столу.

Ужин прошел в остроумной светской беседе, легко и приятно, если не считать страшного хруста, с которым полковник разгрызал клешни омара, да злых шуточек Доллис. Мадам Накамура-Бранчевска была очень предупредительна к своему гостю из великого Лондона.

- Ах, Лондон, Лондон!..- проговорила она, когда они с Геннадием отошли к барьеру веранды.- Помните, как сказал поэт... "Все города похожи, как два

пенса" но не похож на них, как шиллинг, Лондон..."

За столом Мизераблес, сильно чавкая, добирал все, что осталось, пил огромное количество вина, рявкал в ответ на колкости Доллис, а Геннадий с хозяйкой дома стояли над морем-она пила коктейль, "Дайкири", он - ананасный сок.

- Вы погостите у нас, Джин?

- Боюсь, мадам, что мне нужно возвращаться домой. Бабушка сегодня так плакала в телефон...

- Печально,- вздохнула хозяйка.- Мне кажется, что наши отношения могли бы перерасти в настоящую дружбу... Она смотрела на него с мягкой доброй улыбкой. "Какая приятная женщина,- подумал мальчик.- Приятнейшая женщина, несмотря на то что капиталистка. Смотрит на меня, как мама Элла".

- Мадам,- сказал он взволнованно,- вы спасли меня сегодня от смерти.

- О Джин, не надо преувеличивать,- улыбнулась она.

- Я не преувеличиваю, мадам. Мне кажется, что я был в руках какой-то страшной банды. Когда толстяк узнал, что я с "Ван-Дейка", он приказал меня застрелить. Я уверен, что только ваше вмешательство спасло меня. Мне кажется, что те люди связаны с пиратами, напавшими на "Ван-Дейк".

- Пираты! - усмехнулась дама.- В вашем возрасте, Джин, еще можно верить в пиратов...

- Но "Ван-Дейк" потоплен, мадам!

- Да это возмутительный бандитизм! - воскликнула дама.- Уверена, что великие державы не оставят этого без внимания! - Она прикоснулась к плечу Геннадия: - Что касается местных солдафонов, то уверена, вы ошиблись. У вас очень напряжены нервы, мой мальчик. Хорошо бы вам отдохнуть у нас несколько дней. Самолет моей фирмы скоро летит в Зурбаган, откуда вы сможете отправиться прямо в Лондон. В Европе снова входят в моду перья райских птиц, и мы получили заказ.

- Еще раз большое спасибо, мадам, но мне нужно утром быть в Оук-порте. На

русском судне мои вещи и... бабушка волнуется, мадам.

- Хорошо, завтра поедем вместе на моей яхте. Возьмем Доллис с собой, она покажет вам город. Наш дом в Оук-порте, мы эмпирейцы, Джин. Здесь мы только спасаемся от жары...

Она что-то еще говорила, а Геннадий лихорадочно прикидывал, стоит ли рассказывать ей о подслушанном в сенате разговоре. Она эмпирейка, сенатор, ей, наверное, не безразлична судьба ее народа.

Он глянул вниз и остолбенел от ужаса. По проливу, оставляя за собой светлый след, двигался "Алеша Попович". Они уходят из Оук-порта! Куда? Почему? Они уходят без него! Он остался совсем один!

"Алеша Попович" проходил прямо под ними. Палубы были пусты. Медленно вращалась антенна локатора. Геннадию показалось, что он видит в стене ходовой рубки каменное лицо своего друга капитана Рикошетникова. Как он мог бросить его?

За его спиной гулко захохотал Бастардо Мизераблес.

- Гляди! - заорал он. - Сматываются коммунисты. Наша взяла!

Мадам обожгла его резким и неожиданным, как удар хлыста, взглядом.

- До сих пор не научились вести себя в обществе, полковник! - Она повернулась к Геннадию и, пораженная его взглядом, воскликнула: - Что с вами, мой мальчик?

- Там,- в ужасе закричал Геннадий, показывая на удаляющегося "Алешу Поповича",- там осталась моя коллекция марок!

Да, дорогой читатель, в чем нельзя отказать моему герою, так это в присутствии духа и находчивости!

ГЛАВА 8

которая на своем убедительном примере показывает, что голоса логики и разума порой могут потонуть в неистовом шуме сбитой с толку толпы

Что же произошло? Почему "Алеша Попович" неожиданно покинул гавань Оук-порта? Можно ли представить себе, что советские моряки бросили в беде своего товарища? Нет, этого представить нельзя.

Николай Рикошетников, обойдя все, как ему казалось, помещения сената в поисках Геннадия, выбежал на площадь и оказался в центре событий, развязанных мрачными хулиганами с Карбункла.

Площадь кишела людьми. Местами возникали стычки, переходящие в кулачный бой. Ораторы, взобравшись на фонарные столбы, кричали в толпу. Ревели моторы мотоциклов. Группа мужественных горожан, взявшись за руки, защищала свою святыню - памятник Серхо Филимоныч Страттофудо.

Рикошетников помчался на судно, мигом собрал совещание комсостава. Половина экипажа была направлена в город на поиски пропавшего мальчика. Всем морякам было строжайше заказано выспрашивать о мальчике у местных жителей и тем более называть его имя. Рикошетников боялся, и не без основания, что "копальщики" могут узнать о пребывании в городе потомка благородного русского адмирала и устроить на него настоящую охоту.

Тем временем возвратились с тренировки судовые футболисты. Они рассказали, что большинство публики горячо их приветствовало, а меньшинство наоборот ~ бросало в них дохлых крыс, пищевые отбросы и- увядшие цветы. Меньшинство это было весьма ретиво и затянуто в черную кожу. Рассеялось оно только тогда, когда появился гигант в плавках из леопардовой кожи - лучший футболист всех времен и народов, добродушный, но неразговорчивый Рикко Силла.

Поиски Геннадия продолжались несколько часов и не дали никаких результатов. Потрясенный Рикошетников решился тогда на крайний шаг - он снова отправился в сенат.

В сенате уже все спали. Семижильный "резинщик", похрапывая, тянул свое:

- В свете изложенного, опираясь на параграф девяносто, пункт "Д", отдела восемнадцать, можно категорически заявить, что производство пуговиц на

территории республики может быть разрешено только лицам, доказавшим свою способность к оному...

Рикошетников разбудил того сенатора, который дал резкую отповедь происка полковника Бастардо Мизераблес ди Порк-и-Гусано. Толстяк в футболке под номером "3" повел его в свой кабинет для конфиденциальных переговоров.

Имя сенатора было Нуфнути Куче. Рикошетников рассказал ему все. Нуфнути Куче выслушал его с крайним вниманием. В маленьких его глазах, отягощенных трехъярусными мешками, пылал неподдельный интерес.

- Видите ли, капитан,- сказал он,- я не могу вам раскрыть всей подоплеки нынешних событий в нашей стране, потому что и сам ничего не понимаю. Скажу только, что передовая интеллигенция, рабочий класс и спортсмены очень озабочены неожиданной и непонятной атакой с острова Карбункл. В других условиях приезд потомка адмирала Серхо Филимоныч Страттофудо мог бы превратиться в национальный праздник. Сейчас, увы, мы не можем предугадать развитие событий. Эмпирейцы слишком доверчивы и простодушны. Это дети, сэр. Я обещаю вам, что я и мои люди - скажу по секрету, их немало - предпримут все усилия для поисков мальчика. Я не исключаю возможности того, что он попал в лапы негодяев, но...- Нуфнути Куче встал перед Рикошетниковым на одно колено и торжественно провозгласил. - Клянусь созвездием Кассиопеи, катамараном старого Йона, цепями египетских рабов, ржавыми мечами викингов, четками мадам де Клиссон и аркебузами португальцев, клянусь бархатным камзолом нашего первого президента и нашим священным булоногом, Джинадо Эдуардос Страттофудо будет спасен! Аминь!

Капитан Рикошетников сразу понял, что этому человеку можно доверять. В глазах его он увидел намек на незаурядный государственный ум.

- Нуфнути, скажите, состоится ли футбольный матч?

- Не уверен.

- Согласитесь, мы, мирные ученые и моряки, оказались в весьма двусмысленном положении...

- Согласен.

Немногословность Нуфнути Куче еще раз убедила капитана Рикошетникова в надежности этого человека.

- Мистер Рикошетников, я не коммунист,- сказал Нуфнути Куче.-Я всего лишь левый либерал, филуменист и правый защитник, но я вам скажу: мне кажется, что все беспорядки на архипелаге направляет какая-то единая мощная рука.

О дальнейшем развитии событий можно догадаться по заголовкам и высказываниям местных газет.

"Ежедневный фонтан" (Оук-порт);

"Кто мешает нашим парням накапливать международный опыт?"

"Сытная пища без обмана" (г. Стамак, о. Карбункл).

"Футбол - путь к нищете и позору!"

Литературный журнал "Лестница" (специальный выпуск)

"Сегодня мы помещаем стихи нескольких наших известных граждан.

РИККО СИЛЛА

Пусть будет дружбою богата

Душа любого демократа!

Увидят все - наступит срок

Прославится наш булоног!

ТОКТОМУРАН ДЖЕЧКИН

Прекрасен миг -в ужасном гвалте

Ваш президент берет пенальти!

Быть может, кто-то скажет. "Поза?!"

Нет! Это ловкость виртуоза!

НУФНУТИ КУЧЕ

Легопер-эмпиреец, по знаку судьи выходи

На зеленое поле, как прежде простой и веселый

Кожаный мяч, управляемый ловкой ногою,

Дружбы традиции пусть возродит с моряками державы далекой!

НАКАМУРА-БРАНЧЕВСКА

Был парк пронизан лунным светом,

Благоухал розарий мой

Ко мне явился за ответом

Король души моей больной ...

КАФРО ЛАТТИФУДО

Легоперы - ренегаты,

Презирает вас народ!

Уж конечно, ренегаты,

Презирает вас народ!"

Вечером того дня, когда был похищен Геннадий, уличные споры и стычки усилились. "Кроты", обычно не показывавшие носа в Оук-порт, теперь заполонили улицы, бары, кафе. На причале возле "Алеши Поповича" волновалась большая толпа.

- Надо прощупать русских! - кричали "кроты".

Поговаривали, что каждый из них получил за свои хулиганские выходки по двенадцать клуксов и по бутылке "Горного дубняка".

Ночью страсти не утихали, а, напротив, разгорались. Воя, носились по узким улочкам мотоциклы "кротов" со снятыми глушителями. На стенах крепости, отражаясь в черной воде, колыхались факелы. Никто из приглашенных не явился на грандиозно задуманный вечер "Вальс незнакомых цветов"... Мадам Накамура-Бранчевска в одиночестве скользила по паркету, тревожно вглядываясь в темноту парка, принюхиваясь к розам и орхидеям. Утром горожане стали находить в почтовых ящиках, на ступенях лестниц, на столиках кафе желтые листочки. Какие-то негодяи за ночь распространили "Обращение капитана Рикошетникова к народу Республики Большие Эмпиреи и Карбункл".

"Вы, несчастные лежебоки,- гласило "Обращение",- набрались наглости вызвать нас на соревнование по футболу. На что же вы рассчитываете со своей черепашьей медлительностью? С презрением мы отвергаем ваш вызов! Капитан Рикошетников".

Оскорбленные горожане направились в порт. Напрасно Нуфнути Куче, Рикко Силла, Токтомуран Джечкин и другие прогрессивные деятели пытались убедить их, что обращение - фальшивка.

Простодушные, как дети, впервые столкнувшиеся с такой грязной игрой, они верили всему. Почти каждый горожанин тащил с собой футбольный мяч.

В порту горожане устроили перед советским кораблем неслыханное футбольное представление. Сотни мячей летали в воздухе. Все от мала до велика, включая женщин, демонстрировали усомнившимся русским свое умение играть в футбол, технику обработки мяча, финты, обводку, пасы...

Рикошетников несколько раз пытался со спардека обратиться к народу, но его всякий раз встречали свистом. Как? Мы медлительные черепахи, тупые ослы? Мы не умеем играть в футбол? А вот смотрите-ка!

На мачте "Алеши Поповича" давно уже трепетал флаг "Синий Петр" - "Всем на борт!" Только двух членов экипажа недоставало: не явился из увольнительной кот Пуша Шуткин и бесследно пропал лаборант гидробиологического сектора Геннадий Стратофонтов.

Моряки и ученые мрачно взирали на футбольную вакханалию, охватившую город. Первый помощник Хрящиков проводил среди экипажа разъяснительную работу. Видавший виды Шлиер-Довейко почесывал в затылке. Капитан Рикошетников не выпускал изо рта трубки.

Надо ли говорить о том, как волновался капитан за судь- бу своего юного друга! Конечно, можно заявить официальный протест, начать розыски через газеты, но не будет ли это стоить жизни его другу? Бандиты с Карбункла не дремлют, а эмпирейцы... Эх, эмпирейцы! С горечью смотрел капитан на так легко обманутых горожан.

Час уходил за часом, а Геннадий все не появлялся. Между тем футбольные страсти стали затихать. Утомленные граждане кучками рассаживались на набережной и приступали к обеду. Собственно говоря, никакого большого зла к капитану Рикошетникову они не испытывали. Показали, что умеют, и ладно. Они были не способны долго злиться, эти чудаки эмпирейцы,

Вдруг с крепостных стен послышались крики. Около дюжины "кротов" разворачивали на площадке башни "Толстая Эльза" чугунное корабельное орудие, снятое еще в XVIII веке с поверженного "Белого лебедя". Жерло дурацкой пушки поворачивалось в сторону "Алеши Поповича".

- Русские! Отдавайте швартовы!

- Убирайтесь!

- Сейчас мы вам вспомним Сильвер-бей! В толпе на набережной начался ропот:

- Эй, кроты, вы это уже слишком!

- Оставьте в покое нашу пушку!

- Рехнулись, что ли?

"Кроты" не шутили. Один из них вкатил в орудие ядро, второй взялся за фитиль. Наступила тишина, в которой слышался только хохот Володи Телескопова.

- Ой, умру! Ой, сейчас лопну!

Не понимал серьезности момента безответственный "божий плотник".

И вдруг на башне появилась гигантская обнаженная фигура Рикко Силлы. Растолкав "кротов", великий легопер снял пушку с лафета и поднял ее себе на плечи. "Кроты", взвыв от обиды, бросились на кумира нации. Рикко Силла с пушкой на плечах прыгнул с башни в воду бухты.

Что тут началось! "Кроты" стали прыгать за ним. Эмпирейцы целыми семьями тоже ринулись в воду. Рикко Силла, отдуваясь, плыл к берегу, спасая историческую ценность и собственную жизнь. Вокруг в прозрачных водах кипела борьба. Гвалт стоял невообразимый! Кое-где в узких улочках затрещали

автоматные очереди. И тогда на борт "Алеши Поповича" взбежал сенатор Нуфнути Куче.

- Капитан, вы видите, что устроили эти негодяи? Выхода нет, вам нужно на два-три дня покинуть порт. Капитан, нам кажется, что на архипелаге действует мафия или что-то в этом роде. Патриоты начеку, капитан. Следы мальчика, как я и предполагал, ведут на Карбункл. Сегодня ночью мы высадимся на остров, а с вами будем держать связь по радио. Уходите, капитан...

Вот в каких условиях капитану Рикошетникову пришлось выйти из гавани Оук-порта направиться на север.

ГЛАВА 9

в которой впервые, как средство связи, появляется ультразвук,
вновь слышится пение кота и музыка ночного Оук-порта

Часовой с юго-западной сторожевой вышки острова Кар-бункл, осмотрев пролив и не заметив ничего подозрительного, опустил бинокль.

Широкая лунная дорога пересекала пролив. Маленькие волны беспорядочно плясали в лунной полосе, и в этом мелькании тени и света даже самый зоркий взгляд не заметил бы крохотной черной точки, головы одинокого пловца.

Геннадий Стратофонтов, мерно дыша, плыл вольным стилем в сторону Оук-порта. Движения его были точно рассчитаны на большой заплыв, а в голове царила сумятица: он все еще не мог прийти в себя от всего того, что ему довелось увидеть и услышать немногим более часа назад.

Весь вечер после ужина ему никак не удавалось остаться наедине с мадам Накамура-Бранчевской - полковник не отходил от нее ни на шаг. Геннадий был уверен, что полковник - участник заговора; больше того, он был уверен, что вилла Накамура-Бранчевской кишит его людьми. Как предупредить хозяйку об опасности, как рассказать ей о разговоре в сенате, о странных телефонных переговорах в подземелье?

Около десяти часов вечера мадам и полковник куда-то исчезли. Доллис потащила Геннадия в спортзал играть в пинг-понг. Мальчик нервничал, играл плохо. Сославшись на усталость, он ушел в отведенную для него комнату.

Стеклянная дверь комнаты выходила на длинную крытую галерею. По галерее этой взад и вперед прогуливался дюжий слуга. В тишине мерно постукивали кованые каблуки. Всякий раз, проходя мимо двери, слуга как бы ненароком заглядывал в комнату. Сомнений не было - это часовой, и он приставлен к нему, к Геннадию.

Около часа мальчик лежал в темноте, притворяясь спящим, глядя на висящую на стене фехтовальную маску и скрещенные рапиры. Надо было действовать, надо узнать, что произошло в Оук-порте.

Дождавшись, когда шаги соглядатая удалились в конец галереи, Геннадий вскочил с кровати, сорвал со стены маску, положил ее на подушку и прикрыл простыней. Под одеяло он засунул два фехтовальных жилета, придал им форму человеческого тела и нырнул под кровать. Слуга возвращался. Он заглянул в комнату и спокойно пошел дальше. Геннадий выскользнул за дверь.

Пробежав по мягкому ковру через весь коридор, он вошел в темную комнату, открыл окно. Во внутреннем дворе виллы было пустынно. Только под аркой двое парней играли в кости.

Тяжелые ветки ливанского кедра были совсем рядом. Геннадий из окна перелез на кедр... и в этот момент услышал нарастающий шум моторов. Парни под аркой вскочили, один из них отворил ворота, и через минуту во внутренний двор ворвались на полной скорости две машины: низкий двухместный "феррари" и затянутый брезентом "джип".

Из "феррари" вылез полковник Мизераблес, а с места водителя выскочила Накамура-Бранчевска. Она была в кожаной куртке и кожаных брюках и напоминала в этот момент какое-то красивое, сильное животное с пружинистой, легкой поступью. Не оглядываясь, она вошла в дом. Полковник, посвистывая, двинулся вслед за ней. Он слегка спотыкался. Из "джипа" вывалились Латтифудо, Мамис и

еще какой-то неизвестный Геннадию тип в широкополой шляпе.

Два парня с автоматами вылезли вслед за ними и стали на страже как раз под деревом, на котором сидел Геннадий.

Прошла минута, не больше, и осветилось окно веред его носом. Он увидел богато обставленный кабинет, огромный письменный стол с телефонами и селекторами, круглый стол для заседаний, кожаные кресла, карты на стенах и большую модель парусного брига с медными буквами на корме: "Голубка".

"Так, кажется, назывался флагманский корабль мадам де Клиссон",- вспомнил Гена.

Над всем в кабинете доминировал огромный портрет баронессы. Она была очень похожа на Накамура-Бран-чевскую, в левой руке она держала подзорную трубу, в правой - чётки.

Накамура-Бранчевска нервно ходила взад-вперед по кабинету, сжимая в руках длинные кожаные перчатки. Лицо ее было неузнаваемым - напряженное, мрачное, исполненное властной решительности.

Бастардо Мизераблес развалился в кресле и сразу наполнил стакан джином "Палата лордов". Меланхолически прошлепал и бухнул в кресло грузный Латтифудо. Голубоглазый утконосый мистер Кингсли Брейнвен Мамис со своей неизменной блуждающей улыбочкой проследовал в угол и скрылся из поля зрения Геннадия. Четвертый, странный тип с тяжелой нордической челюстью и раскосыми глазками, сел к столу, открыл папку и погрузился в какие-то бумаги. Воцарилось молчание, в котором слышны были только шаги На-камура-Бранчевской.

Внезапно мадам резко повернулась и своими длинными перчатками, словно плеткой, огрела по физиономии сначала кавалера Ордена Счастливой Лопаты, а потом Латтифудо.

"Так им, гадам!" - чуть не воскликнул Геннадий. Надежно скрытый хвоей кедра, он притаился возле полуоткрытого окна, готовясь в любую минуту прийти

на помощь своей любезной хозяйке.

- Это за что же, дорогая? - спросил полковник, потирая обожженную ударом щеку.

- Тебе за кретиническую идею с пушкой,- криво улыбаясь, проговорила дама,- А тебе, Латтифудо, ничтожество, проспиртованное чучело, за общую тупость, за всю твою бездарную возню с этим маленьким англичанином-аристократом. Мальчик сразу догадался, что ты связан с делом "Ван-Дейка". Вот что значит голубая кровь! Мне едва удалось его разубедить. Сотню плетей ты заслуживаешь, кретин.

Латтифудо беспомощно моргал белесыми ресницами.

- Впрочем, тебе уже ничто не поможет,- махнула на него рукой мадам. Она повернулась, и Геннадий увидел дрожащие от ярости пунцовые губы и горящие глаза.- Видите, Мамис, с кем приходится работать? - крикнула она в угол. Оттуда послышался смешок.- С такими, как вы, нетрудно провалить все дело! - почти мужским голосом заорала мадам на полковника и Латтифудо.- Ваши плоскостопые кроты только и думают, как бы ограбить винную лавку да побегать за девчонками!

Она села в кресло, опорожнила стакан джину, закурила сигарету и задумалась. Несколько минут прошло в молчании,

- Все-таки ты зря так, дорогая,- пробормотал полковник.- Русские-то все же убрались, наша взяла...

- Молчи! - прикрикнула на него Накамура-Бранчев-ска.- Нужно собирать команду в Европе. Человек сто, я думаю, будет достаточно.

- Сто пятьдесят, - послышалось из угла.

- Отвечаете за свои слова, Мамис? - спросила дама.- Ребята из Европы нынче стоят недешево...

- Иес, мэм, отвечаю.

Мадам в первый раз удовлетворенно улыбнулась.

- Итак, внимание,- хлопнула она ладонью по столу - Немедленно наладьте связь с Эр Би. Пусть начинает набор. В Европу полетите вы, Джерри Чанг.- Нордический китаец молча кивнул.- В городе сохранять прежнее положение. "Голубой кит" проследит движение "Алеши Поповича". Ясно? Выметайтесь!

Полковник быстро выхлебал свой джин и поднялся. За ним вышли Латтифудо и Джерри Чанг. Когда за ними закрылась дверь, Мамис вышел из своего угла и остановился возле карты архипелага.

- Я должен вам, мадам, сообщить окончательное решение моего правительства.- Палец его полез вверх по загогулине эмпирейской запятой.- Полигоны будут устроены на атоллах Фухс и Фее. Там наши ракетчики будут чувствовать себя вполне уютно. Одну из гаваней Оук-порта вы отдаете под ремонтную базу для флота. На Карбункле будет аэродром. Возражений у вас нет?

- Ну, а что касается моих дел,- сказала Накамура-Бранчевска,- Сомнения в моем происхождении и наследственном праве, надеюсь, отпали?

Мамис некоторое время, осклабившись, исподлобья смотрел на даму, потом проговорил:

- Все ваши условия приняты, ваше величество. Накамура-Бранчевска встала и подошла к карте.

- Это касается и "Анаконды"? - спросила она.

- Мадам, после перехвата "Ван-Дейка" от "Анаконды" осталась одна шкура, - усмехнулся Мамис.

- "Анаконда" устроила фабрику по производству нашего товара на островах Кьюри,- резко сказала Накамура-Бранчевска. - Мы не намерены этого терпеть. *

Мамис почесал затылок.

- Американцы могут разозлиться, мадам. Кьюри - это их подопечная территория.

- Вот об этом я и хотела с вами поговорить, - улыбнулась Накамура-Бранчевска.

Она вдруг совершенно успокоилась и из разъяренной фурии вновь превратилась в обаятельную даму.

- Хорошо,- решительно сказал Мамис.- Мм возьмем это на себя.

- Ну и прекрасно.- Накамура-Бранчевска вновь улыбнулась.- Вы знаете, Мамис, мне кажется, что мы что-то упустили в деле с этим русским научным кораблем. Можно было бы что-нибудь придумать похлеще... Впрочем, может быть, сейчас еще и не время... Прилетит Эр Би, и мы решим вместе... Эр Би настоящий мужчина, не то что этот тюфяк Фук". Трудно представить себе, что они слеплены из одного куска теста,

- А во мне вы еще не разочаровались, мадам? - вежливо спросил Мамис.

- Пока нет,- засмеялась легко и звонко Накамура-Бранчевска.

Они вышли из кабинета. Свет погас.

Лунные капли слетали с ладоней плывущего Геннадия. ...Сколько он ни рыскал по берегу, ему не удалось найти никакого челнока. Причал виллы усиленно охранялся. Впрочем, может быть, это и лучше. Лодку наверняка увидели бы с высокого берега Карбункла, а вплавь он доберется незамеченным. Если только доберется.

"Так вот кто ты такая! Женщина-чудовище, главарь огромной банды, пиратка, авантюристка! Какие дьявольские планы ты вынашиваешь в своей красивой головке! Какую судьбу ты уготовила этим мирным людям, наивным легопе-рам! Только бы мне добраться до берега! Только бы мне добраться! Может быть, удастся найти того толстяка сенатора, что возражал Мизераблесу или самого президента Джечкина? Только бы добраться!"

Уже несколько раз Геннадию казалось, что мышцы правой ноги на грани судороги. Усилием воли он отогнал страх и плыл вперед. И только проплыв треть расстояния, он вдруг с отчетливой ясностью понял, что переоценил свои силы. Никогда ему не пересечь этот проклятый пролив. Повернуть обратно? Нет, ни за что! Вперед! Вперед - куда? Там, впереди,- конец! Что это мелькает под

луной? Плавник акулы? Правая нога одеревенела в согнутом положении. Дыхание сбилось. Геннадий задохнулся, хлебнул воды, беспомощно забарахтался на одном месте. Прощайте! Мама, бабушка, папа, Наташа Вертопрахова, Валька Брюквин, улица Рубинштейна, Ленинград, "Алеша Попович", прощайте! Расплылись и потекли в бесконечность оранжевые круги.

- Спасите! - не помня себя, закричал по-русски мальчик.

- Держись,- услышал он совсем рядом странный спокойный голос.

Сильное большое тело вытолкнуло мальчика на поверхность. Глотнув воздуха, он открыл глаза и увидел рядом глубоко сидящий глаз, крутой лоб и лукавый рот дельфина.

- Держись за плавник, малый,- сказал дельфин.- Не дрейфь. Все будет тип-топ. Мы еще дадим огоньку!

Он говорил на странной смеси русского и американского жаргонного языков/ и звук его голоса был странен, и сам он был невероятен.

Схватившись за спинной плавник, Гена лег на спину дельфина и обхватил ногами веретенообразное тело.

- Сейчас я тебя в темпе доставлю куда надо,- сказал дельфин.- В Оук-порт, что ли?

С ходу он развил сумасшедшую скорость, которая и не снилась самым современным торпедным катерам. Вода вокруг забурлила, засвистел ветер.

- Кто вы такой? - крикнул Геннадий, оправившись от изумления.

- Я дезертир, - ответил его спаситель,- Дезертир из армии Соединенных Штатов Америки.- Он помолчал и добавил:- Чаби Чаккерс, сэр. Бывший мастер - сержант Чаби Чаккерс, учетный номер 007895671138...

- Это невероятно,- прошептал мальчик.

- Чего невероятного? - сказал дельфин.- Зеленый я был, молодой, записался добровольцем. Условия хорошие, рыбы - ешь не хочу, полсотни долларов в неделю жалованья. Научился по-человечески спикать. А потом разные подонки

стали учить наше подразделение всяким мерзким штучкам - корабли взрывать, мины ставить... Чаби, сказал я себе, тут дело нечисто. Не хочу людям пакости делать, и вообще я против войны. Сманил с собой двух дружков и дра-панули. Теперь, если поймают, пожизненная каторга. Только шиш поймают...

- Вы говорите по-английски и по-русски, Чаби?

- Сейчас немного зафоргетил, но вообще-то в частях специального назначения еще и не тому научишься,- фырк-нул дельфин.- А ты русский? Небось с "Алеши Поповича"?

- Меня зовут Геннадий.

- Очень приятно познакомиться.

- Чаби, вы не знаете, из-за чего "Попович" покинул Оук-порт?

- Наверное, из-за шума. Шум там был с утра страшный. Ненавижу шум. Сыт по горло этим шумом.

С этими словами Чаби обогнул волнорез и на малой скорости заскользил по темной воде Оук-портовской бухты. Он доставил Геннадия прямо к гранитным ступенькам лестницы, идущей в воду, и сказал на прощание:

- В случае чего, крикни "Чаби", и я подгребу мигом. Я тут месяца на три застрял, не меньше. Жениться собираюсь,

- А как вас зовут по-дельфиньи, Чаби? - поинтересовался Геннадий.

Любезность моего героя, дорогой читатель, не знала границ.

- Все равно не услышишь,- усмехнулся дельфин и пояснил: - Ультразвук.- Он открыл рот, и все же до Геннадия откуда-то издалека, как будто из космоса, донеслось что-то вроде: - Ооооооиииииэээээу...

- Ооооооиииииэээээу? - переспросил мальчик.

- Ну, ты даешь, Гена! Услышал! Теперь мы с тобой дружки. Пока!

Он вильнул хвостом и ушел в глубину.

Геннадий поднялся по ступенькам за чугунным львом с кольцом в пасти.

Освещенная луной площадь была пуста, только в центре ее высилась позеленевшая бронзовая фигура в треуголке. Поблескивали под луной немые окна

старинных домов, двери амбаров и магазинов были закрыты. Геннадий быстрым, но спокойным шагом пересек площадь, скрылся в тени длинной колоннады. Здесь он снял рубашку и выжал ее. Он взялся было уже за штаны, когда услышал звон гитары и молодые голоса. На площадь из таинственного мрака боковой улочки вышли три парня и две девушки. Красивые, ладные фигуры, ленивая походка - типичные эмпирейцы, беспечные, как птицы.

"Почему бы мне не пойти прямо к ним и не спросить, где резиденция президента Джечкина? - подумал Геннадий.- Этих людей нечего бояться..."

Под сосной Монтезумы Танцевали две пумы, Танцевали, сплетясь, Танцевали две пумы Под сосной Монтезумы И танцуют сейчас .- напевал гитарист.

- Эй, прекратить пение! - послышался грубый голос, и на площадь вышли четверо квадратных парнюг с карабинами.

- С каких это пор в Оук-порту нельзя петь? - крикнул гитарист.

- Марш по домам! ~ рявкнул квадратный.

- Катитесь, кроты, в свои ямы! ~ захохотали эмпирейцы. Геннадий пробежал под колонной и нырнул в узкую улочку, из которой только что вышли "кроты". Некоторое время он еще слышал шум перебранки, потом все затихло.

Больше часу Геннадий наугад петлял по извилистым улочкам, поднимался по мраморным лестницам, прятался за скульптурами. Иногда он видел костры, возле которых сутулились мрачные типы. Замечал на стенах желтые листочки со зловещими угрозами.

И несмотря на тревожное опасное положение, Геннадий с его отзывчивой и впечатлительной натурой не мог не поддаться очарованию ночного Оук-порта. Таинственная игра его теней на мраморных плитах и барельефах, на витражах и мозаиках, сверкающие под луной бритвенно-острые коньки крыш, движение и тихая разноголосица его листвы, все звуки ночи, то глухие, то неожиданно звонкие, надолго, может быть на всю жизнь, пленили мальчика.

На одном из старых домов возле подъезда со скрипящей на слабых петлях, разболтанной дверью Геннадий вдруг увидел мемориальную доску с полустертым

золотым тиснением:

"В этом доме часто останавливались русский писатель Александр Грин (по пути из Зурбагана в Гель-Гью), английский писатель Джонатан Свифт (из Лилипутии в Лапуту), французский писатель Жюль Верн (из пушки на Луну)".

Едва он успел прочесть эту поразившую его надпись, как дверь резко распахнулась, и на пороге дома появился высокий худой незнакомец в старомодной крылатке песочного цвета и в широкополой шляпе.

- Вы ищете друзей? - спросил незнакомец Геннадия, как бы не разжимая губ и мягко улыбаясь глазами.

Мальчик молча кивнул.

- Пойдемте со мной,- сказал незнакомец и двинулся вдоль витой чугунной решетки, за которой тренькал фонтанчик.

Шаги незнакомца были легки, трость мерно постукивала по мостовой. У него был вид спокойного, чуть грустного, но и не лишенного юмора человека, который никогда никуда не спешит, но никогда никуда, не опаздывает. Клетчатый портплед в левой руке не тяготил его, и одежда была удобна, ловка, хоть и небогата.

Возле круглой афишной тумбы он остановился. Бриз, вылетевший из-за угла, взметнул его длинные седые волосы.

- Поворачивайте за угол. Сюда! - Он показал палкой.-Пройдите спокойно и не таясь три дома. Там вас встретят.

- А вы? - тихо спросил Геннадий. Ему почему-то очень не хотелось расставаться с этим любезным незнакомцем.

- К сожалению, дружище, у меня свои дела,- улыбнулся тот, показав длинные зубы, приподнял шляпу и пошел по крутой улочке вниз, к морю, в прозрачную, словно пронизанную серебряной сетью темноту.

Геннадий смотрел ему вслед, пока он не исчез.

"Кто же это был и на каком языке мы говорили? - подумал мальчик.- На русском, английском, эмпирейском?.. Может быть, вообще мы не сказали ни

слова?"

Он повернул на улочку, косо разделенную луной на темную и светлую части. Чувствуя полное доверие к незнакомцу, он пошел не таясь по освещенной стороне и вдруг - о, чудо! - увидел важно шествующего ему навстречу Пушу Шуткина.

- Шуткин, это вы? Не верю своим глазам! - вскричал Геннадий, не сдержав радостного смеха.

- Геннадий, здравствуйте, дружок, - покровительственно приветствовал его Пуша Шуткин.- Сейчас нам не до смеху. Я рад, что смелый мой прыжок закончился успехом...

Он вспрыгнул на подоконник дома и, взявшись правой передней лапой за стену, запел, выразительно жестикулируя левой.

Да, ради вас пришлось коту
Морской закон нарушить,
Друзей оставить на борту
И спрятаться на суше.
И вот, представьте, дорогой,
С той ночи малохольной
Ваш друг, как верный часовой,
Сидел на колокольне...
Мой зоркий глаз вас разглядел,
А нос учуял запах,
И с колокольни я слетел
На мощных своих лапах.
Я все узнал, во все проник,
Я не лишен смекалки,
И перед вами я возник,
Чтоб вывести вас к цели...

- Что-то с рифмой у вас не в порядке в последней строфе, - сказал Шуткину

Геннадий.

- Это от волнения,- пояснил кот.- В минуты волнения иногда сбиваюсь на прозу. Пойдемте?

Дальше последовал головокружительный рейд по заборам, водосточным и домовым трубам, карнизам, скатам крыш, по мусорным бакам, деревьям и даже по флюгерам. Несмотря на невероятную скорость, Геннадий успел за-метить, что все местные животные, включая ручных леопардов, немедленно прятались при виде несущегося под лу-ной боевого кота с качающимся, как дым, хвостом.

Геннадий задыхался, пот лил с него градом. Он не мог (понять, как до сих пор не сорвался. Наконец Шуткин кубарем Свалился со шпиля кафедрального собора и растянулся в маленьком водосточном желобке на высоте не менее тридцати метров. Геннадию ничего не оставалось, как последовать за ним.

- Приличное сальто-мортале. Надеюсь, мой друг, не устали?- с нескрываемым уважением обратился к нему Пуша.

- Н-нет... - пробормотал Геннадий, стараясь не глядеть вниз.- Но где мы, Шуткин?

- Тихо в лунной сей купели. Ну, а мы уже у цели,- сказал кот, и от волнения снова перешел на прозу.-Сможете перепрыгнуть через эту улицу?

- Постараюсь,- проговорил Геннадий, с ужасом глядя вниз.

Несколько минут спустя по узкому карнизу они обогнули какой-то дом, перелезли через перила балкона, и Геннадий увидел перед собой обширную, ярко освещенную комнату, заполненную атлетически сложенными мужчинами.

Это была футбольная команда Республики Большие Эмпиреи и Карбункл, а также часть сенаторов и кабинет министров в полном составе. Поглощая фруктовые соки, массируя друг другу мышцы, разбирая тактические схемы, жуя и хохоча, вся эта компания вела общий разговор, в котором Геннадий, как ни силился,, не смог разобрать ни одного слова.

"Какие вы все беззаботные и веселые, господа,- подумал мальчик.- Вы пьете

фруктовые соки, массируете друг другу мышцы, разбираете тактические схемы, жуя и хохоча, и не подозреваете, что зловещий хищник уже простер свои крылья над вашими островами, что рядом с вами плетет свою сеть страшная женщина-паук, сияющая своей фальшивой красотой".

Однако мальчик ошибся. Эмпирейцы были не так уж беспечны. Через минуту из глубины комнаты раздался крик.

- Связь установлена! Капитан Рикошетников просит подойти к рации сенатора Нуфнути Куче.

Не помня себя от радости, Геннадий толкнул балконную дверь и под удивленные возгласы легоперов побежал к рации.

- Это он! - возвел руки к небу сенатор.- Потомок нашего памятника!

ГЛАВА 10

в которой на земле и в воздухе ревут моторы системы ,,роллс-ройс", звучат дифирамбы и клятвы в верности

Гигантский "Боинг-747" компании "ПАН-АМ", миновав воздушные пространства Южной Америки, Океании, Юго-Восточной Азии, Индии и Ближнего Востока, летел теперь над Европой. Командир экипажа Бенджамин Ф. Аллигейтер брился и смотрел вниз на проплывающие малые страны, на молочные реки и кисельные берега густо населенного континента. Б. Ф. Аллигейтеру не особенно нравилось это дрожащее желе неопределенного цвета, именуемое Европой.

Он больше любил красноватое свечение Сахары, темно-зеленый с коричневыми прожилками колер Индии, чередование белых и темных пятен разной глубины и резкости в Гималаях и Кордильерах. Больше же всего мистеру Аллигейтеру был по душе простой, без всяких хитростей, синий цвет стратосферы, под которой он водил свое судно. Вошла стюардесса гаваянка Омара.

- Как там дела, Омара? - спросил командир, хотя и так знал, что все в порядке, что пассажиры первого класса, надрывая животики, смотрят фильм

"Живешь только дважды", а пассажиры второго класса скорее всего дрыхнут.

- Вас хочет видеть какой-то господин,- сказала Омара.- Он назвался Румпельштильцхеном.

- Пусть войдет,- сказал командир, ничем не выдав своего удивления. Что занесло сюда старого Румпеля? Не будет он по пустякам совершать межконтинентальные рейсы.

Вошел пожилой господинчик, похожий на какого-нибудь пуговичного фабриканта из Гааги, инспектор могущественного Интерпола, международной уголовной полиции.

Аллигейтер и Румпельштильцхен встречались не чаще одного раза в год, а знали друг друга давно: ведь бравый летчик вот уже много лет считался одной из самых опытных ищеек Интерпола.

- Привет, Бен.

- Привет, Румпель.

- Стареешь, Бен. Не заметил меня.

- Где ты сел?

- В Бангкоке, но наши ребята провожают тебя еще с Монтевидео. Руководство опасалось за твою колымагу, Бен.

- Даже так?

- Ты слышал о нападении на теплоход "Ван-Дейк"? Здесь в самолете типы из той же компании.

- Наркотики?

- И золото. Главное, Бен, тут в том, что подпольная империя "Анаконда" ведет войну с какой-то другой мафией, еще более сильной и скрытой от нас. Мы знаем только, что и те и другие сейчас у тебя на борту, но не знаем, кто они, как выглядят, где они сели в самолет.

- Через час тридцать пять будет Лондон,- сказал Аллигейтер.

- Слава богу,- вздохнул Румпельштильцхен.- Надеюсь, теперь они уже не поднимут бучу. У наших судорога начинается от напряжения.

- Об "Анаконде" я кое-что слышал, - задумчиво прого-ворил командир, - но кто их враги?

- Они действуют очень широко. То в Гонконге, то в Лаосе, то в Австралии, то в Европе мы находим их следы, но следы всегда обрываются... Где-то у них есть тайная база. Но где? Кто их главарь?

- Может быть, мадам Вонг? - усмехнулся Аллигейтер, вспомнив полумифическую женщину-пиратку, о которой несколько лет назад кричали все газеты мира. Таинственная китаянка, лица которой не видел ни один смертный. Специалисты сошлись на том, что под этой романтической маской скрывалась просто группа гонконгских уголовников.

Румпельштильцхен отмахнулся от шутки:

- Мне лично кажется, что им покровительствует разведка какой-то мощной страны. Это мое личное мнение, Слушай, Бен, пройдись-ка не спеша по своей колымаге. Мо-жет быть, что-нибудь заметишь.

- Сейчас, добреюсь...

Пока электробритва очищала правую щеку капитана, миновали Австрию. Аллигейтер подтянул галстук, нацепил профессионально-приветливую улыбку и вышел в салон.

Так и есть: в первом классе пассажиры кисли от смеха. На экране Шон Коннори молотил бронзовой статуэткой по голове гиганта борца сумо. Кто из этих вылощенных бога-теев может оказаться гангстером? Любой - и никто.

Командир прошел в салон второго класса. Больше сотни людей самых разных наций томились в креслах. Все уже устали от столь долгого полета. Спортсмены, туристы, монашки, бизнесмены средней руки, компания хиппи... Вот, пожалуй, один подозрительный тип - узкоглазый, с тяжелой нордической челюстью... Что-то почти неуловимое в облике сближает его с теми холоднокровными гадами, с которыми жизнь не раз сталкивала Б. Ф. Аллигейтера. Но рядом с ним сидит какой-то славный мальчишка, лобастый, ясноглазый крепыш, и они мирно беседуют. Вряд ли этот паренек из мафии...

Командир прошел через весь салон и остановился в багажном отделении. Туда же скользнул старший стюард Карриган, похожий на дрессированного павиана.

- Кажется, все в порядке, чиф? - сказал он, широко улыбаясь.

Командир заглянул в рыжие глаза своего старшего стюарда. Вот самая темная личность на борту. Кто он: агент Интерпола, гангстер, человек ЦРУ, контрабандист? Черт бы побрал этот шпионский, шпионский, шпионский, тайный, порочный, блудливый мир! То ли дело простой голубой цвет стратосферы.

- Все в порядке, Карриган,- буркнул командир. Между тем лобастый, ясноглазый крепыш (читатель, конечно, уже догадался, кто это!) обратился к своему спутнику:

- Я, пожалуй, сосну часок перед прилетом, мистер Чанг.

- Не возражаю, Джин, - ответил спутник и вдруг подмигнул обоими глазами, передернул неподвижную маску своего лица.- А сколько миллиончиков в сундуке у твоей бабки, Джинни-бой?

Эта странная судорожная ухмылка и шутка, которую Джерри Чанг повторил по меньшей мере раз пятьдесят за многочасовой полет, вконец опротивели Геннадию. Однако он вежливо в пятидесятый раз ответил:

- Я не посвящен в финансовые дела своей бабушки, мистер Чанг.

Он закрыл глаза и вновь, в который раз, перед ним закружились события последних дней, лунные пятна и солнечный блеск Больших Эмпиреев...

...В середине пролива Рикко Силла выключил мотор своей лодки и сел за весла. Уже занимался рассвет. Геннадий волновался, но лучший легопер мира подмигивал ему ободряюще, а вид его мускулов я сахарно-белых зубов вселял уверенность.

Лодка уткнулась в гальку. Геннадий пожал руку гиганта, спрыгнул на берег острова Карбункл. Короткими перебежками пересекал он освещенные луной куски пляжа, прятался за валунами. Нависшая над морем базальтовая стена Карбун-кла была уже близко, когда Геннадий вдруг услышал голос.

- Стой!

Перед ним в маленькой нише сидела, поджав под себя ноги в белых джинсах, Наташа Вертопрахова, то бишь Доллис Накамура-Бранчковска.

- Где ты был? - спросила она сурово.

- Там,-растерянно махнул рукой Геннадий,-в море...

- Ты был в Оук-порте, Джин,- сказала Доллис.

- Нет, нет, что ты! - забормотал Геннадий.- Просто мне не спалось, я спустился к морю... здесь какой-то рыбак покатал меня...

- Джин,- голос девочки зазвенел от напряжения,- что ты скрываешь? Расскажи мне все! Я буду твоим другом!..

Геннадий посмотрел девочке прямо в глаза. В них дрожала неясная тревога. Она ничего не знает о подлинной сути своей матери. Было бы слишком жестоко сказать ей сразу обо всем.

- Доллис, ты веришь мне? - спросил он и взял ее за руку. - Ты знаешь, что я не замышляю ничего дурного?

- Да,- сказала она, уже готовая к принятию тайны.

- Тогда не спрашивай меня ни о чем. Тебе будет тяжело узнать правду. Скоро ты все узнаешь, но я не хочу первым причинять тебе боль, Наташа...

- Как ты меня назвал? - округлила глаза девочка.

- Итак, сэр, повторяю, - звенящим от восхищения голосом сказал старший стюард Карриган мистеру Джерри Чангу, представителю фирмы "Райские перья и благовония".- Повторяю, сэр. Спаржа, русская икра, салат ля парижьен, черепаховый суп, стейк по-техасски, фрукты. Замечательный вкус, сэр! Виски "Кинг Джордж IV"? Гениально! Целую бутылку? Сверхгениально, сэр! Поздравляю!

Вихляя задом, старший стюард удалился.

- Такой обильный заказ, мистер Чанг,- сказал Генна-дий. - До Лондона ведь всего один час...

- Не отказываться же от бесплатной закуски,- ухмыльнулся Чанг.- А выпивка в воздухе в два раза дешевле, чем на земле. Скажи-ка, Джинни-бой, сколько миллиончиков в сундуке у твоей бабушки?

- Я не посвящен в финансовые дела моей бабушки, ми-стер Чанг,- сквозь зубы проговорил Геннадий и снова закрыл глаза.

...Голос Рикошетникова в наушнике звучал ясно, как если бы он находился в соседней комнате.

- Все хорошо, что хорошо кончается, Гена. На борту расскажете обо всем подробно. Нуфнути Куче на катере доставит вас сюда. Мы в пятидесяти милях, координаты известны. Почему вы молчите?

Набравшись мужества, Геннадий проговорил:

- Товарищ капитан, разрешите мне... остаться у Накамура-Бранчевской. Это очень важно, товарищ капитан...

- Что за глупости! - вдруг закричал Рикошетников. Это был первый случай, когда невозмутимый капитан повысил голос,- Что за бредни у вас в голове? Я отвечаю за каждого члена экипажа, а за вас, Геннадий, вдвойне. Вернее, втройне! Не забывайте, что вы еще только мальчик! Выполняйте приказание?

У Геннадия закружилась голова. Это испытание оказалось для него потруднее, чем бегство из башни и допрос в подземелье Карбункла. Возражать своему старшему другу и капитану?! Оспаривать его приказ?! Он посмотрел на столпившихся вокруг рации мускулистых людей, лица которых, возможно впервые за их жизнь, были скованы напряжением.

- Николай Ефимович,- он с трудом проглотил комок в горле,- Большим Эмпиреям и всему народу угрожает беда. Никто, кроме меня, не сможет проникнуть в центр страшного заговора. Я уверен, что вы на моем месте остались бы здесь, а я бы на вашем месте не возражал. Николай Ефимович, пионер не может поступить иначе... поймите меня...

Геннадий замолчал. В наушнике слышался только треск атмосферных разрядов. Капитан тоже молчал. Геннадий приободрился.

- Николай Ефимович, ведь я теперь не один, я связался с патриотами. Кроме того, каждую ночь вам будет сообщать обо мне некто по имени Чаби Чаккерс. Это вполне надежный...- Геннадий запнулся было,- вполне надежный человек.

Мне ничего не угрожает. На Карбункле уверены, что я просто английский мальчишка с романтическими бреднями в голове...

- Ждите у рации. Мы посоветуемся,- сухо сказал капитан.

... - Ледис энд джентльмен аттеншен, плиз, - послышался нежный голос стюардессы.- Просим прекратить курение и пристегнуть ремни. Через пятнадцать минут наш самолет произведет посадку в лондонском аэропорту.

Представитель фирмы "Райские перья и благовония", не жуя, заглатывал огромные куски техасского бифштекса. Геннадий заглянул в потемневшее уже окно. Внизу до самого горизонта извивались, пересекаясь, линии оранжевых бестеневых фонарей. Самолет кружил вокруг Лондона, дожидаясь очереди на посадку.

Немыслимо дерзкая мысль лететь в Лондон вместе с Джерри Чангом пришла в голову Геннадию не сразу. Несколько дней он жил на вилле Накамура-Бранчевской, играл в теннис с Доллис, мило беседовал с хозяйкой, а ночью тайно спускался к проливу и условным ультразвуковым свистом вызывал верного Чаби. За эти дни он узнал многое, но главное открылось ему только в предпоследний день. Из разговора подвыпивших Мизераблеса и Латтифудо он понял, о каких "парнях из Европы" говорила мадам в ту памятную ночь. Это были не кто иные, как пресловутые "мерсенеры", белые наемники, "рыцари" Буронго, Фриманны, Джигалии, в джунглях которых наводили кровавый "порядок" эти сверхсолдаты, мастера войны, способные за "приличное вознаграждение" стрелять в любую сторону, куда прикажут. Именно они должны были сыграть последнюю часть страшного концерта под дирижерскую палочку женщины-чудовища. Именно из этих профессиональных убийц набирал в Лондоне команду неизвестный Геннадию Эр Би, "настоящий мужчина".

Посоветовавшись с сенатором Куче и патриотами, Гена решил попытаться проникнуть в эту команду для того, чтобы узнать их дьявольские планы.

- Мадам,- сказал он как-то Накамура-Бранчевской,- к сожалению, я вынужден покинуть ваш дом. Могу ли я позвонить в Лондон, чтобы попросить у бабушки

денег на билет?

- О Джин! - всплеснула руками очаровательная дама.- Как вы можете говорить о деньгах? Мы с вами люди одного круга, мой мальчик. Нам ли не помогать друг другу? Как раз завтра вылетает в Зурбаган, а оттуда в Лондон служащий моей фирмы мистер Чанг. Вы сможете лететь с ним, я дам соответствующие указания. Ах, Джин,- Накамура-Бранчев-ска притронулась к его руке и вздохнула,- поверьте, мне нелегко расставаться с вами, но я надеюсь скоро быть в Лондоне, и, может быть, леди Леконсфильд...- Голос дамы слегка дрогнул.

- Бабушка будет рада принять вас у себя,- сказал Геннадий.- Она и ее брат...

- Сэр Лемюэль Кроссли-Датчмен? - округлила глаза Накамура-Бранчевска.- Тот самый, внучка которого, Сьюзен, в прошлом году порвала с Ирвингом Диблатоу, девятым баронетом...

- Да-да,- небрежно подхватил Геннадий,- с тем самым Ирвингом, по кличке "Памфи", который приходится кузеном баронессе Шампунь-Собакиной, той, что в сентябре прошлого года в родовом поместье Йелоу-Кэтс-Хаус объявила о помолвке с гонщиком графом Хидеркутта, братом и хорошим товарищем известного своими конюшнями виконта Бромурала де Гольденберга, отец которого, магараджа Аждарагам этой весной купил остров Силли-Иллис у его матери княжны Патриции Уайт-Торадзе, корни которой, как вам, конечно, известно, мадам, уходят к славному роду Паддингтон-Сен-Лазар-Савеловский...

- О да, о да...- еле слышно прошептала Накамура-Бранчевска. Со священным трепетом она смотрела на юного аристократа. На ее щеках пылал нервический румянец.

Геннадий давно уже заметил, что эта страшная женщина со стальными нервами и холодной кровью совершенно теряла голову перед аристократическими именами и титулами. Ей так хотелось войти в тот круг бездельников и хлыщей, что называется "хай-лайт" (высший свет!). Не лишенный воображения, мальчик

болтал что в голову придет о своих "светских" связях, и мадам в такие минуты смотрела на него, как кролик на удава...

"Как проникнуть в логово наемных солдат?" - думал Геннадий, идя по стеклянному коридору лондонского аэропорта рядом с мистером Чангом, движения которого отличались каким-то особым механическим свойством, придавая ему сходство г плохо отлаженным роботом.

В последнюю ночь на Больших Эмпиреях сенатор Куче, Рикко Силла и президент Джечкин дали мальчику множество советов, как вести себя в Лондоне, но все они были настолько наивны, что Геннадий, никогда раньше не бывавший в британской столице, но знавший о ней кое-что по литературе, прессе и телевидению, приказал себе немедленно их забыть. Правда, Рикко Силла раздобыл где-то толстенный путеводитель. Геннадий изучил его от корки до корки, и ему казалось, что он может с закрытыми глазами пройти от Паддингтонского, к примеру, вокзала до Белгрейв-сквер, где жила его "бабушка" леди Леконсфильд.

Сейчас он шагал в толпе пассажиров внешне спокойный, держа под мышкой портфель с эмпирейскими сувенирами. Читатель, конечно, уже заметил, что наш герой отличался исключительным самообладанием.

- Ну, Джин, где твоя золотая бабуля? - проскрипел мистер Чанг, буравя глазами толпу встречающих.

- Меня никто не встречает, мистер Чанг. Я решил не беспокоить бабушку телеграммами.

- Как же ты доберешься?

- Ну...- Геннадий искоса взглянул на Чанга и заметил, что "робот" тоже косит на него глазом-индикатором, - хотя бы на такси или... вы меня подвезете, мистер Чанг... Ведь вас встречают?

- Мальчик с вами? - спросил у Чанга полицейский чиновник, сидящий на высоком табурете у турникета, за которым начиналась территория Великобритании.

- Да, офицер. Мальчик со мной.

- Уелкам, сэр, проходите.

Чанг и Геннадий прошли через турникет. Чанг махнул кому-то рукой, осклабился с какой-то подобострастной наглостью. Геннадий повернулся и увидел не кого иного, как полковника Бастардо Мизераблеса ди Порк-и-Гусано. Да, это был несомненно он - бананообразный нос, гусеницы бровей, подбородок утюгом... Но что-то в нем изменилось-исчезла тупая мрачность из глаз, а со щек пропали синие алкогольные паучки. Мизераблес был подтянут, гладок, элегантен, на губах его блуждала улыбка, полная добродушно-коварного юмора, столь свойственного властным, сильным натурам.

- Полковник, каким образом вы смогли опередить нас? - воскликнул Геннадий.

- Мистер Стрейтфонд? - усмехнулся встречавший.- Очень рад. Мадам сообщила мне о вас. Должен вас огорчить, мистер Стрейтфонд перед вами всего лишь брат блестящего полковника, зеркальная копия кавалера Ордена Счастливой Лопаты. Я лишь скромный коммерсант. Ричард Буги к вашим услугам.

- Ричард Буги?!-вскричал с неподдельным изумлением Геннадий.- Уж не потомок ли вы, сэр, знаменитого адмирала Рокера Буги?

В глазах Эр Би (теперь Геннадий понял, кто это такой) появилась заинтересованность.

- Приятно удивлен, мой мальчик, что вы хотя бы слышали это имя. Соотечественники редко ценят своих истинных героев. Слава часто достается дутым фигурам.

- Слышал это имя! - воскликнул с горячностью Геннадий.- Да ведь это мой кумир, сэр! Я преклоняюсь перед памятью адмирала Буги! Но почему ваш брат, сэр, носит другое имя?

Ричард Буги снисходительно усмехнулся.

- Фук всегда испытывал тягу к пышным титулам и именам...

- Разве может быть имя прекраснее имени Буги! - вскричал Геннадий. Он

продолжал разыгрывать восторженность.- Да я бы отдал полжизни за это имя!

Тяжелая рука с перстнем опустилась на плечо мальчика, клавиатура челюстей обнажилась в довольной улыбке, низкий голос прогудел:

- О'кей, бой!

Чанг занялся оформлением своего багажа, кованых сундуков с перьями райских птиц и благовониями, а Геннадий и Ричард Буги медленно направились к выходу из здания аэропорта. Геннадий не умолкал ни на минуту. Он видел, что Ричарду Буги чрезвычайно приятно выслушивать дифирамбы в адрес своего предка. Если бы знал потомок кровавого пирата, что рядом с ним идет прапрапрапраправнук капитана Стратофонтова, пустившего на дно сумасшедшие мечты императора Рокера I!

Они вышли на площадь, заполненную сотнями разномастных автомобилей и автобусов. Огни реклам дрожали на лакированных крышах и стеклах машин. Гудки, крики, обрывки музыки, близкий вой мощных авиамоторов... Зарево Лондона освещало половину небосклона. Геннадию стало немного не по себе. Что может сделать здесь он один, в незнакомом огромном городе?

Ричард Буги остановился возле огромного черного "роллс-ройса".

- Вот моя тележка,- сказал он с плохо скрытой гордостью.

- Отличная машина, сэр,- похвалил Геннадий.- Очень похожа на автомобиль моего двоюродного дедушки Лемюэля Кроссли-Датчмена.

- Верно,- подтвердил Буги.- С той лишь разницей, что я вожу ее сам. Мне нравится чувствовать свою власть над этой большой штукой.

- Понимаю, сэр,- кивнул Геннадий.- Что может быть приятнее для настоящего мужчины, чем чувство власти? Буги захохотал.

- Эге, паренек, я вижу, ты не так прост! Подошел Чанг и проскрипел:

- С багажом все в порядке, Дик.

После этого он вдруг перешел на карбунклское наречие эмпирейского языка. Геннадий, делая вид, что осматривает машину, насторожился.

- Слушай, Дик, ты знаешь, сколько миллиончиков в сундуке у бабки этого

щенка?

- Думаю, немало,-буркнул Буги.-А тебе-то какое дело?

- Есть идея, Дик. Давай-ка спрячем мальчишку в твоей берлоге, и бабуле пошлем письмо от двух доброжелателей. Можно огрести по сотне тысяч.

Сердце Геннадия заколотилось.

"Браво, Чанг! Пробраться в берлогу Эр Би - это уже удача! Впрочем, бабушка может проговориться, что я русский... Страшный риск, но без риска..."

Ричард Буги печально вздохнул.

- Эх, Джерри Чанг... Как ты был мелкой шпаной из Коулун-сити, так и остался. Ни размаха в тебе, ни воображения...

Он повернулся к Геннадию и приподнял шляпу.

- К сожалению, мистер Стрейтфонд, мы вынуждены сейчас с вами проститься. Вам нужно в центр города... Белгрейв-сквер, двенадцать, не так ли? А мы с этим механическим джентльменом,- он бесцеремонно ткнул Чанга пальцем в живот,- направимся в противоположную сторону по Хиллингдон-роуд. Прошу меня простить, Джин.

- Неужели мы больше никогда не увидимся, мистер Буги? Сэр! - воскликнул Геннадий.- Мне хотелось бы еще поговорить с вами о вашем славном предке. Может быть, вы дадите мне свой телефон или адрес?

- Обязательно увидимся.- Буги протянул руку.- Я позвоню вам сам.

Геннадию ничего не оставалось, как направиться к стоянке такси.

Возле стоянки он оглянулся. Буги и Чанг распоряжались погрузкой в "роллс-ройс" кованых сундуков с перьями.

- Выезжай из ряда,- услышал он за спиной знакомый голое.- Главное не прозевать, когда они тронутся с места.

Он обернулся и увидел, что из ближайшего такси за Буги. и Чангом напряженно следят суженные глаза старшего стюарда самолета "ПАН-АМ". Рядом с

ним сидел еще какой-то мужчина, но лица его в темноте не было видно.

Огромный желто-красный автобус с надписью на боку "Польский бекон - лучший в мире" медленно выехал в коридорчик между стоянкой такси и машиной Буги. Геннадий мгновенно принял решение. Он юркнул за автобус, подбежал к "роллс-ройсу" и быстро проговорил:

- Мистер Буги, там против вас затевается что-то недоброе.

Словно испуганный хищник, Буги отпрыгнул в сторону и мгновенно сунул руку за пазуху.

- Что? Что ты говоришь?

- Там... трое в такси... хотят вас преследовать,- сказал Геннадий.

- "Анаконда"! - взвизгнул не смазанными шестеренками Чанг.

- Молчать! Быстро в машину! - скомандовал Буги. Он бросился за руль. Чанг обежал "роллс-ройс" с другой стороны. Ни секунды не раздумывая, Геннадий открыл заднюю дверь и упал на пол автомобиля.

Со второго этажа, из кафе, смотрели на площадь командир корабля Аллигейтер и инспектор Интерпола Румпельштильцхен.

- Слава богу, все кончилось благополучно,- устало вздохнул инспектор.

- Ты доволен? - спросил летчик.

- Еще бы.

- Но ведь ты никого не поймал, Румпель.

- Хорошо, что они нас не поймали...

В темноте моргали стоп-сигналы выезжающих на автостраду машин.

Геннадий не знал, видели ли Буги с Чангом, как он прыгнул в "роллс-ройс". Лежа на полу, он не слышал ни одного их слова: переднее сиденье было отделено от задних перегородкой из толстого стекла. Он почувствовал, что "роллс-ройс" идет на сумасшедшей скорости, не меньше 150 километров в час. Следовательно, они едут в сторону от Лондона, по большому городу так не поедешь. Оторвались ли они от погони? Во всяком случае, дело принимало

неплохой оборот. "Я решил быть с вами до конца, мистер Буги,- скажет он.- Спина к спине у мачты, сэр..."

Скорость вдруг резко упала. Машина сделала поворот и поехала по боковой дороге. Блики большой автострады перестали мелькать по стенкам. Машина остановилась, открылась передняя дверь, голос Буги прогудел:

- Слышал, Чанг? Они проскочили мимо. Сейчас мы смоемся, а потом рассчитаемся с ними на островах Кьюри...

Он захлопнул дверь, развернул машину и поехал назад к автостраде. Перед выездом был небольшой подъем. Буги включил вторую передачу, и вдруг машина дернулась, взревел мотор.

Почувствовав неладное, Геннадий поднял голову и увидел, что передний отсек "роллс-ройса" наполнился голубоватым светящимся дымом, в котором, словно припадочные, бились Буги и Чанг. Судороги продолжались несколько мгновений, потом Буги и Чанг уронили головы. Геннадий увидел двух подбегающих мужчин в странных масках. В руках одного из них было короткое ружье с широким, будто бы стеклянным стволом. Второй распахнул дверку машины, нажал на тормоз, выключил зажигание. Светящийся газ мгновенно испарился. Нападавшие сняли маски, деловито приступили к обыску бесчувственных Буги и Чанга. Геннадий заметил, что широкоствольное ружье лежит рядом с машиной на асфальте. Он выскочил из машины, схватил ружье и, увидев изумленные физиономии старшего стюарда и его дружка, нажал спусковой щелчок; мелькнул узенький язычок огня, "роллс-ройс" вновь наполнился голубым дымом. Геннадий бросился прочь и упал в кювет - носом в мокрую траву.

Когда потомок великого императора Рокера I очнулся, он увидел над собой ясные, доброжелательные глаза Джина Стрейтфонда.

- Что произошло? - заплетающимся языком пробормотал Буги.

- Все в порядке, сэр. Они связаны,- бодро ответил мальчик.

- Откуда ты взялся?

- Всегда с вами, сэр. До конца. Спина к спине у мачты. Ричард Буги со

стоном приподнялся, увидел связанных врагов, икающего Чанга и расхохотался;

- Ей-ей, ты мне по душе, малый!

ГЛАВА 11

в которой слышится "Песня аваитюристки" и звучат голоса, умалишенных

После соревнований в Кракове (Польша) в жизни Наташи Вертопраховой произошло значительное событие: ее портрет в полный рост и с обручем был напечатан на обложке журнала "Смена". Неизбежное следствие таких публикаций - поток писем. Наташа даже и не представляла, как велик в нашей стране интерес к художественной гимнастике, этому эстетическому виду спорта. Ей писали школьники всех возрастов, юные и зрелые спортсмены, просто любители прекрасного, курсанты суворовских и нахимовских училищ... Большую часть своего свободного времени Наташа посвящала теперь разбору писем и ответам на них.

Была уже довольно глубокая ночь, когда она приступила к двадцать седьмому за этот день ответу. Она писала пожилому пенсионеру из города Тишинска, книголюбу и рыболову.

"Уважаемый Олег Михайлович! Вы интересуетесь моей жизнью, учебой и успехами в спорте Вы не пропускаете ни одного соревнования по художественной гимнастике. Большое вам за это спасибо!"

Зазвонил телефон. Удивленная столь поздним звонком, Наташа сняла трубку и услышала усталый голос телефонистки:

- Вертопрахова? Поговорите с Лондоном. Вслед за этим что-то щелкнуло, немного погудело, потом затараторило на ста языках сразу, а потом в тишине женский голос сказал:

- Мисс Вертопрахова? Джаст уан момент, плиз! "Неужели уже до Лондона докатилось? - подумала с некоторым волнением Наташа.- Неужели и в Лондоне заинтересовались художественной гимнастикой?"

И вдруг она услышала невероятно знакомый, спокойный голос:

- Наташа, здравствуй. Это я, Гена.

- Кто? - закричала изумленная Наташа.

- Гена Стратофонтов. Я звонил нашим, но никто не ответил. Вероятно, все на даче. Тогда решил... к тебе...

- Откуда ты? Что за глупый розыгрыш? Тоже мне - Лондон, Лондон...

- Я действительно звоню из Лондона.

- Да ну тебя, Генка! Вечно ты что-нибудь выдумаешь!

- Послушай, Наташа.- У Геннадия был такой серьезный голос, что Наташа сразу же забыла свое раздражение.- Слушай внимательно и передай все моей бабушке Марии Спиридоновне. Я сейчас в Лондоне, куда прилетел с Больших Эмпиреев, по очень важному Делу. Скоро возвращаюсь на архипелаг. Пусть не волнуются. Подробности я сообщу письмом. Это все. Запомнила?

- Да,-тихо проговорила Наташа.

Она вдруг сквозь весь свой спортивно-популярный туман вспомнила, что Генаша розовым невским вечером что-то лепетал об архипелаге Большие Эмпиреи, о каком-то судне, вообще какой-то вздор. Может быть, все это не такой уж и вздор? Сердце ее вдруг пронзила какая-то неясная тревога.

- Гена! - закричала вдруг она.

- Доллис! - вдруг закричал он.

- Что такое? - поразилась Наташа.- Как ты меня назвал?

- Прости, Наташа! Как было в Кракове?

- Первый приз!

- Поздравляю!

- Я все передам твоей бабушке! Когда ты вернешься?

- Надеюсь управиться до начала учебного года. Пока, Наташа!

Внизу в холле леди Леконсфильд веселым старческим голосом напевала какой-то романс. Винстон фонировал низким утробным воем.

Старая дама была счастлива. Ее юный спаситель, русский "хрустальный

дельфинчик", был выше всякой критики. Он называл ее "гранни" и часами вел с ней задушевные серьезные беседы. Она уже подумывала, не отчислить ли ему еще процентов пять из доли Винстона, хотя Геннадий вторично самым категорическим образом отказался от ее капиталов как человек, воспитанный в принципиально другой системе.

Во избежание случайностей Геннадию пришлось приоткрыть старой даме завесу тайны. Леди Леконсфильд еще со времен зубопротезной деятельности своего мужа научилась держать язык за зубами. Надо ли говорить о том, что она была потрясена мужеством и самоотверженностью своего "хрустального дельфинчика".

- О, Джин, ты рискуешь жизнью ради спасения столь малой народности! О, нет-нет, ты - святой! Не спорь, мой мальчик, я вижу над тобой ореол святости!

Геннадий сдержанно объяснил ей вздорность всяких религиозных предрассудков, а также сказал, что на его месте любой советский пионер повел бы себя так же, ибо советскому пионеру не безразлична судьба как больших, так и малых наций.

Геннадия волновало то, что Ричард Буги вот уже двое суток не давал о себе знать. После столь чудесного спасения и пылкой клятвы в верности мистер Буги доставил мальчика в Лондон, а сам укатил в неизвестном направлении, пообещав в самое ближайшее время объявиться. Геннадию оставалось теперь только ждать. Он был уверен, что завоевал симпатии Буги и что рано или поздно ему удастся проникнуть в его логово. Но вот прошли уже два дня...

Часы на столе перед потрясенной Наташей Вертопраховой показывали 21.30, часы на столе перед озабоченным Геннадием Стратофонтовым показывали 18.30. Такова разница во времени между Ленинградом и Лондоном. Вдруг Геннадий услышал прямо под своим окном автомобильный сигнал, напоминающий первые такты из оперы Россини "Сорока-воровка".

Вот оно! Геннадий одним прыжком достиг окна, выглянул. Да, под окном в открытом двухместном вишневого цвета "феррари" сидел, ухмыляясь в усы,

мистер Ричард Буги. Большим пальцем правой руки он показал Геннадию на свободное сиденье, а затем указательным постукал по часам: давай, мол, в темпе!

- Yes, сэр!-весело крикнул Геннадий и кубарем скатился вниз, в холл.- Бабушка, за мной заехал один из эмпирейских друзей,-сказал он леди Леконсфильд. - Вы понимаете?

Старая леди ахнула, встала из-за фортепьяно и попыталась вооружить Гену огромным ржавым револьвером времен англо-бурской войны. С чувством глубокой признательности мальчик отказался от этого предмета, так же как и от арбалета эпохи Столетней войны и от кельтского меча времен вторжения норманнов.

Он выскочил из дома и с ходу прыгнул на кожаное сиденье "феррари", пожал каменную ладонь своего нового "друга".

- Ну, аристократишка,-улыбнулся Буги,-сегодня ты увидишь много интересного. Ничему не удивляйся, парень,

Возле южной границы квартала Сохо на одной из узких улочек над маленькой дверью висит ржавая вывеска: "Мешок гвоздей". Многие десятилетия это была ничем не примечательная пивнушка, где отдыхали грузчики, продавцы и всякий темный люд из Сохо.

И вдруг в последний год возле "Мешка гвоздей" стали все чаще останавливаться шикарные "ягуары" и "бентли". Элегантные дамы и господа спускались по полустертым ступенькам в подвал, в кисло пахнущий сводчатый зал, чтобы послушать новую разгорающуюся звезду певичку Бубу Флауэр.

Мулат-ударник бешено колотил по барабанам руками и ногами Саксофонист качался, закрыв глаза Вдруг наступала пауза, и на эстраде появлялась девица в широких шелковых брюках и длинной блузе.

- Буба! Буба! - кричали из публики - "Песню авантюристки"!

Я - авантюристка Буба!

Рост, лицо, фигура, зубы

Выше всех похвал!

Токио, Нью-Йорк и Дели,

Восемь стран за две недели!

Риск - мой идеал!

Бокс, дзю-до, борьба каратэ,

Электроды, химикаты,

Акваланг, кинжал!

Фунты, доллары и йены,

Ловкость барса, нюх гиены -

Все мне дьявол дал!

Я могла бы быть артисткой,

Кулинаром, журналисткой,

Но шпионкой-аферисткой,

Хищницей-авантюристкой

Мир меня назвал!

Маленький оркестр взвыл на пределе возможностей человеческого уха. Певичка подняла руки, сделала несколько сумасшедших па, потом откинула волосы со лба, подмигнула восторженным леди и джентльменам, свистнула в два пальца и улыбнулась откровенно хулиганской улыбкой.

- Представь себе, Джинни-бой,- сказал Ричард Буги,- все эти индюки думают, что Буба просто певичка. Но есть здесь, малыш, и люди, которые знают, что она поет эту песенку неспроста... да, неспроста...- Он загадочно улыбнулся.

Геннадий вспомнил, что спасенные с "Ван-Дейка" говорили о какой-то девизе, безжалостной гадине с автоматом.

Может быть, это та самая Буба? А может быть, в шайке На-камура-Бранчевской десятки, сотни таких Буб?

- Неужели это возможно? - изобразил наивное удивление Геннадий.- Я думал, что такие вещи существуют только в книгах.

- Ты слышал о стране Буронго, малыш? - усмехнулся Буги.- Слышал ты о городе Трандонге, об острове Корнео? Слышал ты о тех людях, которые

Буги не успел закончить фразы. К их столику в сводчатой нише, в углу, сквозь толпу танцующих протолкались двое широкоплечих парней среднего роста в одинаковых серых костюмах. Один - блондин с коричневым лицом, другой - узкоглазый темноволосый азиат. Скрестив руки на груди, они несколько секунд с неопределенными ухмылками смотрели на Буги, а Буги с такой же ухмылкой смотрел на них. Затем Геннадий стал свидетелем любопытного разговора.

- Говорят, сэр, что вы набираете знающих людей в археологическую экспедицию? - сказал первый парень с явным немецким акцентом.

- Присаживайтесь, джентльмены,- пригласил Буги и, когда парни навалились локтями на дубовый стол, улыбнулся.- Я вижу, у вас одинаковый вкус, друзья. Серые костюмы по тридцать фунтов с Олд Бонд-стрит, голубые галстуки из "Либерти"...

- Только что прибыли, сэр,-сказал темноволосый,- решили приодеться по-человечески.

- Откуда прибыли?

- Из жарких мест, сэр. - Это я вижу. Точнее.

- Южная Фриманна, сэр.

- Ваше имя? - спросил Буги темноволосого.

- Лакендра Туцу, сэр, но больше известен под именем "Буллит". Несколько лет назад демобилизовался из британской армии, домой решил не возвращаться, участвовал в четырех экспедициях.

- Инструментами владеете?

- За исключением музыкальных, любыми, сэр.

- Вы гурк?

- Да.

- Вы подойдете,- коротко сказал Буги и повернулся к блондину.- Ну, а вы, искатель приключений? Идеалист из Мюнхена?

- Обижаете, сэр,- жестко сказал блондин.- Мы с Буллитом не расстаемся пять лет. Вместе отступали из Лайонвиля. Должно быть, слышали о деревне Касамбо? Вы со своим отрядом тогда...

- Много болтаете для профессионала,- буркнул Буги и сделал жест бармену.

Когда на столе появилось три стаканчика джина с тоником, Буги широко, дружески улыбнулся:

- Значит, только вернулись, ребята, и уже снова на работу тянет?

- Точно, сэр. Разве здесь жизнь?

- А вы знаете, куда мы отправимся?

- Нет, сэр. Но уж наверняка в веселое местечко, а?

- Вот что,-Буги вырвал листок из блокнота,-завтра явитесь по этому адресу в Камден-таун для заключения договоров.

- Условия, сэр?

- Там все скажут. Пока. Мы отчаливаем. Джин, попрощайся с господами археологами.

Солнце уже сильно клонилось к закату, когда темно-вишневый "феррари" обогнул статую Эроса и устремился на запад по Пикадилли. Ярко пылали стекла красных двухэтажных автобусов и крыши бесчисленных автомобилей. Вот уже третий день Геннадий в Лондоне, а знаменитыми туманами не пахнет. Солнце с рассвета до заката царит в безоблачном небе.

- Знаете, сэр,- сказал Геннадий,- я испытываю какое-то странное чувство, нечто вроде ностальгии по Большим Эмпиреям. Не было ли в экипаже вашего предка кого-нибудь из Стрейтфондов? Неужели я никогда не попаду больше на этот архипелаг?

Ричард Буги быстро взглянул на мальчика.

- Ты не заметил там ничего странного, Джин? - спросил он.

- Нет, сэр... впрочем... я не знаю тамошнего языка, сэр. Но, может быть, я ошибаюсь, кажется, там что-то готовится, какие-то перемены...

- Правильно заметил, Джин,- кивнул Буги.- Скоро там все будет по-иному.

Они выехали на Консингтон-роуд, проехали мимо Гайд-парка и памятника принцу Альберту.

- Ты мне спас жизнь, парень,- сказал Буги,- и вообще ты мне нравишься. Сегодня ты увидишь, что род адмирала Буги не оскудел и что не все еще мужчины белой расы превратились в неврастеников. Увидишь такое, что и не снилось ни одному мальчишке твоих лет.

Читатель легко может себе представить, какие чувства охватили Гену после этих слов. Он понял, что близок к своей цели.

Через полчаса "феррари" выбрался на магистраль, а еще через десять минут свернул на какую-то узкую ветку, в начале которой стоял щит с надписью: "Private road"-"Частная дорога". Дорога эта привела к высоким глухим воротам с вывеской: "Частная психиатрическая лечебница доктора Сильвестра Лафоню". Ворота бесшумно раскрылись, и "феррари" въехал в обширный двор с типичным английским ярко-зеленым лугом, подстриженными кустами, приветливым белым зданием в глубине, за которым виднелись деревья парка. Все здесь было специально создано для спокойствия, для починки поломанной нервной системы; все было тихо и смиренно, если не считать кровавого заката, отражающегося в окнах дома.

Едва "феррари" подъехал к дому, оттуда выскочил рыжеволосый субъект в синей униформе и распахнул дверцы машины.

- Где больные, Мак? - спросил Буги.

- Все в порядке, сэр. Больные в парке, на занятиях.

- Пройдем через дом, Джин,- пригласил Буги.- Посмотришь, как занимаются наши бедняжки.

Они вошли в дом, прошли по пустому гулкому холлу в длинный темноватый коридор, по которому прогуливался рослый детина с коротким карабином в руках.

- Ну как, Орландо?- спросил Буги.

- За дурачка меня принимаете, босс? - обиженно прогудел детина.- В жизни им не проникнуть сюда. Что вы, меня не знаете? Как-никак...

Большая черная лапа, появившаяся из-за угла коридора, схватила его за лицо. Из-за скульптуры Аполлона мелькнула какая-то тень, и часовой исчез, исчез бесследно, как будто его здесь и не было. Сверху, с потолка, послышался насмешливый голос;

- Привет, босс! Я уже полчаса вишу над Орландо, как летучая мышь. Всё вас дожидались.

- Ну ладно, выходите,- рассмеялся Буги.

Геннадий готов был поклясться, что на потолке никого не было, но все-таки оттуда бесшумно спрыгнул какой-то человек, а из-за угла появились двое Других в странных широких одеждах.

- Эти три парня тренируются по системе "Ниндзя", древних японских разведчиков-невидимок, - объяснил Буги. - За большие деньги нам удалось выцарапать эту тайную систему. Ну, ребята, куда вы девали беднягу Орландо?

- Вот он, босс,- ответил один из "ниндзя" и извлек из складок одежды неизвестно как поместившегося там огромного "беднягу Орландо".

- Протестую, Дик, - прохрипел полузадушенный страж.- С нечистой силой воевать не нанимался.

- Если бы он обнаружил их, он бы стал стрелять? - спросил Геннадий Ричарда Буги.

- Конечно.

- Боевыми патронами?

- Нет, холостыми. "Ниндзя" - слишком дорогой товар. Но должен тебе сказать, что очень часто даже на тренировках мы стреляем боевыми. Мы здесь шутить не любим. Пойдем дальше, Джин.

Они прошли еще метров двадцать по коридору и вдруг за одной из дверей Геннадий услышал русскую речь.

- Стой! Руки вверх! - орал дикий голос с невероятным акцентом.- Где

спрятал оружие?

Геннадий остановился как вкопанный.

- Кажется, какой-то славянский язык, сэр? - спросил он.

- Урок русского языка, - объяснил Буги.

- А это зачем, сэр? Уж не собираетесь ли вы воевать с Россией? - Геннадий еле-еле смог скрыть усмешку.

- С русскими у меня особые счеты,- буркнул Буги.- Тот клипер сорвал планы моего деда. У них было больше пушек и скорость выше. Проклятый русский капитан загнал нашу эскадру в залив Сильвер-бей. Может быть, пьяница Фук и забыл об этом, но Ричард Буги не таков. Пару лет назад я был в Ленинграде и узнал, что там еще живут потомки Стратофонтова.

Он остановился, вынул сигарету, чиркнул зажигалкой, закурил и усмехнулся. И тотчас в памяти Геннадия вспыхнул снежный вечер на Марсовом поле, памятник Суворову, Кировский мост... Так вот кем был тот неприятный иностранец, на которого они обратили внимание с капитаном Рикошет-никовым!

- Я уничтожу памятник этому паршивому Страттофудо и на его месте поставлю памятник истинному герою - адмиралу вольного флота и императору Рокеру Буги! - горячечно зашептал Ричард.

- Вы истинный Буги! - воскликнул Геннадий. Маленький психолог, как уже известно, нащупал слабую струнку своего противника. Ричард при этих словах застыл в монументальной позе, словно сам себя вообразил уже памятником.

- Но все-таки зачем на Эмпиреях русский язык сейчас? - осторожно спросил мальчик.

Буги стряхнул бронзовое оцепенение.

- Понадобится...

"Они замышляют что-то против "Алеши Поповича"...- подумал Гена. - Помнится, мадам говорила об этом Мамису..."

Они вышли из дома и по идиллическим тенистым аллеям углубились в парк. То тут, то там среди деревьев стремительно перемещались короткими перебежками

"пациенты" доктора Сильвестра Лафоню. Группа душевнобольных, собравшись под навесом, изучала новенький бронетранспортер марки "мерседес". То тут, то там мирно гукали автоматические винтовки, снабженные глушителями.

- А какие у вас отношения с полицией, сэр? - спросил Геннадий.

Буги захохотал и обнял его за плечи.

- Толковый ты паренек, Джинни! Вопрос в самую точку. Видишь ли, местный констебль человек покладистый. Он отлично понимает, что несчастным шизофреникам и истерикам необходимо для лечения какое-нибудь увлекательное дело, хороший спорт. Хочешь познакомиться с инвентарем нашей клиники?

Он ввел Геннадия в низкий сарайчик, зажег свет, и Геннадий увидел целый арсенал: десяток автоматов в гнездах вдоль стены, два гранатомета, пулемет, ящики с патронами, какая-то радиоаппаратура, гирлянда наручников...

- Все самое современное, из Мьетвиня, прямо из пекла, по знакомству,- горделиво сказал Буги.- Винтовки "ЭМ-14", гранаты...

На пороге сарайчика вырос рыжеволосый субъект в униформе.

- Босс, вас вызывают на связь!-возбужденно заорал он.

- Сама? - испуганно спросил Буги.

- Кажется, да...

От спокойной величавости императорского потомка не осталось и следа. Он быстро юркнул в дверь и исчез.

В течение четверти часа Геннадий в полном одиночестве усиленно знакомился с оружием. Прервал это занятие приятный, мягкий голос.

- Будьте любезны, поставьте на место мой автомат. Геннадий резко обернулся. В дверях стоял высокий человек довольно странного вида. Волнистые, до плеч, волосы, тонкие усики и острая бородка делали его похожим на мушкетера, но полосатая майка и вельветовые джинсы с широким поясом сообщали вполне современный вид.

- Прошу прощения, сэр, я просто хотел посмотреть,- сказал Геннадий и представился:-Джин Стрейтфонд.

- Мое имя Джон Грей, - поклонился длинноволосый.- Как вы попали сюда?

- Меня привел...- начал было Геннадий, но в это время в сарай ввалилось десять других наемников во главе с гориллой лет сорока пяти.

Все они орали по-русски: "Стой, стрелять буду! Ложись на палубу!"- и дико хохотали. Геннадий понял, что эта группа явилась с занятий по русскому языку.

- Хватит гоготать! Разобрать оружие!- заорал горилла.- Сейчас на ночные стрельбы попремся! Эй, что тут за щенок болтается? Иди-ка сюда, малый?

- Повежливей, мистер Горилла! - крикнул ему в ответ Геннадий.

Наемники грохнули:

- Ай да мальчонка! Верно он Пабста окрестил Гориллой! Горилла - она и есть горилла! Чистая горилла!

Горилла Пабст ринулся на Геннадия, пытался схватить его за шиворот, но мальчик увернулся и сильно ударил Пабста ногой в зад. Пабст взревел и выхватил из гнезда свой автомат.

- Хотите меня застрелить, Горилла? - вежливо спросил Геннадий.

- Попался бы ты мне в Буронго, щенок!..- прорычал Пабст.

- А вы вообразите, что вы в Буронго, сэр. Уверяю, что не попадете в меня, даже с десятка метров.

На этот раз наемники засмеялись уже над мальчиком.

- Да-да, джентльмены,- серьезно сказал Геннадий.- Никто из вас не попадет в меня с десятка метров при стрельбе одиночными выстрелами.

- Это почему же, бой? - крикнул кто-то. - Я умею увертываться от пуль,- сказал Геннадий, снял с одного из наемников огромную шляпу, так называемый "шестигалонный стетсон", водрузил ее себе на голову и отошел в глубину сарая. - Попробуйте хотя бы сбить с меня эту шляпу, джентльмены.

- Мальчишка издевается над нами! - загудели наемники. Один из них положил руку на плечо Джону Грею.

- Ну-ка, Силач-Повеса, покажи ему свою руку.

- Я не Вильгельм Телль,- сказал Джон Грей и присел со своим автоматом в угол.

- Если бы он был черномазым, я бы рискнул,- буркнул другой наемник.

- Трусы! - резко крикнул Геннадий.

Сразу же в ответ хлопнул выстрел. Геннадий махнул головой - шляпа осталась на месте. Еще один выстрел. Геннадий крутанулся волчком - шляпа осталась на голове. Еще выстрел - та же картина!

- Да вы что, стрелять разучились, ублюдки? - взревел Пабст.

В наступившей тишине Джон Грей вежливо спросил Геннадия:

- Как вам это удается?

- Воля к жизни, - бойко ответил мальчик.

- А-а, понимаю, понимаю,- покивал Джон Грей.- Воля к жизни.

- Воля к жизни и свободе,- добавил Геннадий.

- И к свободе,- задумчиво проговорил Джон Грей.- Неплохо сказано - воля к жизни и свободе...

- Хватит болтать! Лови-ка пулю! - гаркнул Пабст, поднял автомат одной рукой и выстрелил.

Геннадий отскочил в сторону и подул в ладошки.

- Поймал, сэр! Вот она, горяченькая!

Наступило молчание. Дюжие наемники, раскрыв рты, смотрели на удивительного мальчика. Пабст, выпучив глаза, вытирал пот со лба. Геннадий снял целехонькую шляпу и отвесил присутствующим шутовской церемонный поклон.

- Вот это малый! Такого бы в нашу команду! - сказал кто-то.

- Ей-ей, малыш! Тебе бы нашлось местечко в моем "джипе",- буркнул Пабст.

- Джентльмены, я мечтал бы работать вместе с вами,- проговорил Геннадий.

Джон Грей встал, обнял мальчика за плечи и отвел его в сторону.

- В мой автомат вы не успели вставить холостую обойму,- тихо сказал он.

- Да, сэр, ваш был последний, я не успел,- признался Геннадий.

- И все-таки вы рискнули затеять эту игру?

- Да, рискнул.

- А если бы выстрелил я?

- Вы бы не выстрелили, сэр.

- Вы уверены?

- Конечно. Ведь вы же тот самый Джон Грей - Силач-Повеса. Очень странно было увидеть вас здесь, но я вас сразу узнал. "Джон Грей - Силач-Повеса, сильнее Геркулеса, храбрый, как Дон-Кихот..."

- А-а, эта песенка! - улыбнулся Джон Грей.- В ней много преувеличено. Помните, там какая-то ерунда про ковбоя Гарри?

- Еще бы не помнить! - воскликнул Геннадий.

- Вовсе я не убивал этого прохвоста. Нелли сама его выгнала... Но все-таки мне очень приятно, что вы помните... Да, да, бывало всякое, при свете лунном кружились пары, да-да... Слушайте, а зачем вам понадобилось устраивать этот цирк с холостыми патронами?

- Мне нужно попасть в вашу команду, мистер Джон Грей, - прошептал Геннадий.

- Тайна? - деловито осведомился Силач-Повеса. Он протянул Геннадию узкую длинную ладонь, и по ее пожатию мальчик понял, что Грей вполне заслуживает первую половину своего прозвища.

Хлопнула дверь, и на пороге появился веселый, энергичный Ричард Буги.

- Эй, леопарды! - закричал он.- Не обидели тут моего гостя? Ну, Джин, познакомился с современными джентльменами удачи?

- Твой гость - настоящий бесенок, Дик,- сказал Пабст.- Я бы нашел для него местечко в своем "джипе", ей-ей...

- Эти люди, малыш, знают цену жизни! Они беспощадны, но и себя не щадят. Каждый из них стоит целого батальона простых солдат. Они умеют убивать и умирать. В джунглях и в песках, в воздухе, в горах и в море нет более страшного зверя, чем белый наемник! Соль земли, они несут из глубины веков

то, чем славна белая раса, покорившая все континенты: мужество, боевую спайку, авантюризм и великую белую мечту!

Голос Ричарда Буги звенел, глаза пылали, и если бы Геннадий не знал цену этой фальшивой человеконенавистнической расистской романтики, он мог бы, пожалуй, даже увлечься вдохновенными пассажами бандита. Нет, он знал всему этому цену и был начеку.

Геннадий сидел в мягком кресле кабинета Буги и изображал немой восторг. Стены кабинета украшали африканские маски и оружие, под потолком висела большая модель все того же пресловутого "Голубого кита". Но главным предметом в комнате был огромный портрет Рокера I, сделанный в старинной манере, подобно гравюрам, изображавшим пиратов XVII века: Рокка Бразильского, Джона Моргана и Франсуа Олонэ - свирепое, вполоборота лицо и обнаженный палаш на плече.

Ричард разглагольствовал, прогуливаясь по кабинету с бокалом шампанского в руке?

- Не в пример своему спившемуся брату, пью только французское шампанское,- пояснил он.- Всегда вожу с собой запас этого благородного напитка. Однажды в Буронго запас кончился. Тогда я со своим отрядом напал на один городок под предлогом очистки его от коммунистов и захватил в местном отеле дюжину ящиков "Вдовы Клико".

- И должно быть, переколотили немало народа, сэр? - усмехнулся Геннадий.

- Там мы не считали, - хохотнул Буги.

Ненависть к этому ухмыляющемуся фанфарону-убийце сжигала мальчика, но выдержке его мог бы позавидовать любой взрослый мужчина.

- Да, дружище Джин,- продолжал Буги.- Пациенты доктора Сильвестра Лафоню видали всякое. Большинство из них служили под знаменами единственного белого из африканцев Чуиза Томбе, колотили своих противников так, что голубые каски разлетались, как яичная скорлупа.

- А Джон Грей? - спросил Геннадий.

- Силача-Повесу я знаю меньше. Он работал в Центральной Америке, на Гаити и, кажется, в Санто-Доминго. Его рекомендовал мне друг покойного Артура Пейна как лучшего стрелка, летчика и парашютиста. Но остальных мальчиков я знаю почти всех. Вместе мы сражались под началом Джека Доллара, полковника Брома, Бу-мю, ну, а теперь у меня будет своя команда.

- Разрешите вопрос, сэр? Куда вы направитесь из Англии, каковы ваши планы?

Буги откупорил еще бутылку, ухмыльнулся и, явно рассчитывая на эффект, медленно произнес:

- На Большие Эмпиреи, сынок, на твои любимые Большие Эмпиреи.

- Как? - вскричал Геннадий.- Не ослышался ли я?

- Нет, не ослышался. Мадам уже ждет не дождется.

- Какая мадам?

- Наша хозяйка,- саркастически улыбнулся Буги,- мадам Накамура-Бранчевска.

- Мадам Накамура-Бранчевска ваша хозяйка? - Геннадий вскочил.- Это шутка, сэр? Мадам увлекается цветами, пишет стихи!

- Старая бандитка! - захохотал Буги; приложившись к горлышку, он выпил полбутылки благородного напитка. Уши его налились внутренним огнем.- Джинни-бой, я делаю на тебя ставку и поэтому расскажу все об этой бабе. Мадам - глава огромной подпольной империи. Начинала она, как и все мы, в Трандонге, в Коулун-сити, где за каждой бамбуковой шторкой можно получить порцию гашиша или свинца. Она оказалась ловчее всех, эта ведьма. Она втерлась в доверие к доктору Кабэ, королю золота и опиума. По дешевке мадам купила три ржавых торпедных катера и стала нападать на торговые суда. Я сам служил на одном из этих катеров простым пулеметчиком. Уже тогда она нажила огромные деньги, но потом влипла в историю: ограбила американский военный транспорт. Многих из наших тогда похватали, но мадам быстро нашла общий язык с ЦРУ. Пока судьба носила меня по всему белому свету, мадам устраивала свои

делишки как нельзя лучше. Теперь у нее миллионы и страшная власть, а у меня, кроме этой маленькой штучки,- он показал мальчику пистолет "беретта", - никакой собственности. Все, что ты видел здесь, все на ее деньги.

- Скажите, сэр, а ее дочь Доллис знает о том, кто ее мать?..

- Дочь! - захохотал Буги.- У кобры еще никогда не рождались человеческие детеныши. Доллис похищена у каких-то французских аристократишек. Мадам помешана на аристократизме. Она и тебя отпустила домой только для того, чтобы пролезть в аристократические круги. Не будь твоя бабка Леконсфильд, полакомились бы тобой акулы. Теперь по ее плану мы должны разогнать эмпирейских сенаторов-легоперов и объявить ее королевой Больших Эмпиреев и Карбункла как законную наследницу основательницы Оук-порта баронессы де Клиссон. Ну, Джин, что ты на это скажешь?

Ричард Буги уперся кулаками в подлокотники Гениного кресла и приблизил к нему свои пронизывающие глаза.

Для того чтобы почувствовать остроту ситуации, любезный читатель может представить в десяти сантиметрах от своего лица глаза рыси.

- Я... я...- пробормотал Геннадий, лихорадочно нащупывая правильный ответ,- не могу сказать, чтобы мне это особенно нравилось, сэр...

Буги отпрыгнул, захохотал и воздел к потолку сжатые кулаки.

- Баронесса де Клиссон! Королева! Ее папаша до сих пор по ночам торгует лапшой в Иокогаме, а мамаша тачает сапоги в Триесте.

- В то время, как вы, сэр, истинный Буги! - вдохновенно подхватил Геннадий.- Стопроцентный, неповторимый Буги!

Ричард опорожнил одним махом еще одну бутылку благородного напитка и засветился изнутри, как китайский фонарь. Он вдруг встал на кончики пальцев, на пуанты, и сделал посреди кабинета медленный балетный поворот.

- Посмотрите на эту фигуру, Джин Стрейтфонд! - почти запел он.- Разве отсутствует в ней величавость, разве не присутствует в ней державная осанка?

Посмотрите на эту шею, Джин Стрейтфонд, на этот мощный и тугой мускулюс! Разве не похож он на звенящий от напряжения вант адмиральского корабля? Посмотрите, Джин Стрейтфонд, на этот гордый чеканный профиль! Разве не достоин он украшать денежные знаки, разменную монету и ассигнации?

Буги слегка подпрыгнул, хлопнул в ладоши и закружился в странном танце под одному ему слышимую чудовищную музыку. - Крочи, мой мальчик, крочи, чурочи рикотуэр! Малази холионон кукубу! Буги не будет мальчиком на побегушках! В дебрях Лабрадора живет принцесса Вуги, он женится на ней, и на Больших Эмпиреях воцарится династия Буги-Вуги. Фреомоностр чу ра!

Глядя на этот танец, Геннадий подумал, что в клинике доктора Сильвестра Лафоню есть, по крайней мере, один человек, нуждающийся в серьезном психиатрическом лечении.

ГЛАВА 12

в которой снова рокочут авиационные моторы и гремит автоматическое оружие

Небольшой двухмоторный самолет фирмы "Локхид" медленно полз в огромной тропической ночи, словно невидимый вирус, попавший в бутылку чернил.

- Простите меня, Джон, но вы довольно забавно выглядите в шлемофоне,- сказал Геннадий Силачу-Повесе.

Самолет шел на автопилоте, и поэтому Джон Грей и Геннадий могли свободно болтать. Джон Грей покуривал, мельком взглядывал на приборы. Геннадий сидел рядом в кресле второго пилота. Сзади, в фюзеляже, храпели на мешках со снаряжением молодчики команды Пабста.

Силач-Повеса поправил длинные свои локоны, выбившиеся из шлемофона, подкрутил усики, погладил бородку.

- Милый Джин, - улыбнулся он, - люди, которые осмеливаются подшучивать над моей внешностью, недолго задерживаются на этом свете, а мне самому моя внешность очень нравится. Что касается вас, то вы, мой друг, тоже довольно

странно выглядите в кресле второго пилота. Согласитесь, что вам больше бы подошел уютный детский горшок.

Оба беззлобно посмеялись. За две недели подготовки в клинике для душевнобольных они успели подружиться. Легендарный Джон Грей - Силач-Повеса нравился Геннадию своими вежливыми манерами, мягкостью, странной для наемника задумчивостью. Оружием и техникой он владел действительно безупречно и обладал невероятной, чуть ли не сверхъестественной силой. Непонятна была только вторая половина его прозвища - никаких свойств повесы Геннадий за ним не заметил. Все свободное время Джон Грей проводил в своей койке за чтением Британской энциклопедии или стихов Т. С. Эллиота. Непонятно было также, как этот мягкий, добрый джентльмен попал в компанию отпетых бандитов.

Мальчик понравился бывалому Грею своей смелостью, ловкостью, прямотой и целеустремленностью, которая не ускользала от наблюдательного Силача-Повесы.

Итак, они сдружились, что называется, сошлись на короткой ноге, и вот теперь сидели вместе в пилотской кабине, в слабо освещенной железной коробке, ползущей в черном небе над черным океаном.

Это был последний этап утомительного пути из Британии на Большие Эмпиреи. Из Лондона их команда вылетела рейсовым самолетом компании "BEA" в Барселону под видом туристов, интересующихся боем быков. Из Барселоны на странной моторной яхте они отбыли как любители рыбной ловли, члены профсоюза текстильщиков, на крохотный, почти безлюдный островок, имевший тем не менее взлетно-посадочную полосу. Там они погрузились в этот самолет, пилотировать который взялся Джон Грей - Силач-Повеса. Они сделали несколько посадок в разных странах на тайных аэродромах и вот теперь с дополнительными баками горючего совершали многочасовой перелет над океаном.

- Джон, я давно хотел задать вам один важный вопрос, - сказал Геннадий.

- Я знаю,- невозмутимо ответил Силач-Повеса.- Вы давно хотели спросить, что у меня общего с людьми вроде Гориллы Пабста.

- Правильно,- удивился Геннадий.

- Видите ли, Джин,- Силач-Повеса пощипал свои усики, - по своей натуре я авантюрист. Такова и моя профессия, сэр, я - авантюрист. В Латинской Америке я участвовал по меньшей мере в семи так называемых революциях, связывался с разными темными личностями, они приходили к власти, а я сматывался. Брось, Джон, говорил я себе, что толку во всех этих опереточных революциях, кому от них польза - народу, тебе, Рите, крошке Нелли? Но, увы, такова моя натура, и профессия моя такова. Тянет меня к авантюрам, и все!

Последний раз я ввязался в одно совершенно сумасшедшее дело, но оно, к сожалению, кончилось крахом.

- Что же было дальше? - осторожно спросил Геннадий.

- В Порт-о-Пренсе я нанялся матросом на старый ллойдовский пароход, идущий в Европу, а в Европе... э-э...- Джон Грей махнул рукой,- чем мне только не пришлось заниматься: был мусорщиком, пел в паршивом ресторанчике за тарелку супа, таскал мешки с цементом на товарных станциях. Все мне стало безразлично. Кто бы мог узнать Джона Грея, который "за всех заплатит, который всегда таков". У Риты и крошки Нелли хватило Такта оставить меня в покое.

Потом мне вдруг повезло. Я поступил в школу парашютистов знаменитого Жака Дюбура. Вот это была жизнь! Ребята были все высшего класса, особенно один летчик, швейцарец Герман Гейгар, царство небесное его отчаянной душе.- Силач-Повеса перекрестился.- Последний год я работал трюкачом на киностудии Лауристини, неплохо зарабатывал, начал даже оказывать материальную помощь Рите и крошке Нелли. Ну, а потом услышал, что собирается новая освободительная экспедиция. Не выдержала моя авантюристическая натура, и вот вы видите меня, сэр. за штурвалом этого самолета.

- Вы называете нашу экспедицию освободительной? - спросил Геннадий.- Вы думаете, мистер Буги или Горилла Пабст освободители Больших Эмпиреев?

Джон Грей остро взглянул на Геннадия.

- Простите меня, Джон, но вы наивный идеалист,- сказал Геннадий.- Буги и Пабст и все прочие - обыкновенные наемные убийцы, а Буги еще и честолюбивый маньяк. Хоти-те знать подоплеку всей этой истории?

И Геннадий рассказал Силачу-Повесе о Больших Эмпиреях, о мадам Накамура-Бранчевской и о планах Ричарда Буги. Ему необходим был союзник в команде наемников, а Джон Грей казался подходящим человеком.

Когда он кончил, Джон Грей некоторое время молчал, а потом резко повернулся к мальчику:

- А теперь разрешите мне задать вам, Джин, вопрос, который давно уже вертится у меня на языке. Вы действительно англичанин? Вы действительно тот, за кого себя выдаете?

Геннадий не успел ответить, за их спинами появился Горилла Пабст. Почесывая волосатую грудь и зевая, он сказал:

- Слушай, Джон, будь повнимательнее при посадке. Здесь взлетно-посадочная полоса насыпная, узкая ленточка в море. Вчера сержант Гамбл промазал и нырнул на самое дно.

- Небось Гамбл садился по приборам?- спросил Джон.

- Ясно, по приборам, как же еще?

- Ну, а мы на глазок, Пабст, мы на глазок,- усмехнулся Грей и подмигнул Геннадию.- Мы с ним видим, как коты... Самолет резко пошел вниз.

Наемники прибывали на Карбункл в течение трех дней. Их помещали в старинном замке, слегка переоборудованном под казармы. Солдаты скучали, слонялись по узким коридорам и сводчатым казематам, поглядывали в узкие окна, на заманчивый силуэт Оук-порта. Выход за пределы казарменного двора был запрещен.

Все эти дни Геннадий провел в замке, он ни разу не видел ни Ричарда Буги, ни мадам, ни Мизераблеса, ни Латти-фудо, никого из знакомых. Больше того, утром, после прибытия, он не нашел на соседних койках Джона Грея, Пабста и еще четырех парней из команды: бельгийца Клемана, немца Беккера и двух

американцев - Луиса и Эрни.

Они вернулись к вечеру третьего дня грязные и усталые, в порванных тропических комбинезонах. Пятеро отправились в душ, а Джон Грей, кивнув Геннадию, вышел на площадку башни, сел там в углу и подставил лицо ветру.

- Где вы были, Джон?- спросил Геннадий.

- На островах Кьюри,- зло процедил сквозь зубы Силач-Повеса. - Маленькая увеселительная прогулка в обществе товарищей по освободительной миссии.

Оказалось, что их шестерых подняли ночью, погрузили на десантное судно, в трюме которого стоял уже бронетранспортер, и сказали, что они должны уничтожить какой-то опиумный завод на одном из островов Кьюри.

- Это удар по конкурентам, по банде "Анаконда",- сказал Геннадий.

- Слушай, что было дальше.

Они ехали на бронетранспортере по узкой просеке в джунглях. Джон Грей был за рулем. Пабст поливал все вокруг пулеметным огнем, а остальные четверо лежали на полу и играли в карты. Наконец из-за пальм показалась лужайка, а на ней низкое кирпичное строение с большой вытяжной трубой. Из окон вели интенсивный автоматный огонь. Пабст приказал Беккеру и Луису подавить огонь.

Парни бросили карты, высунулись, осмотрелись и спокойно перелезли через борт броневика. Сквозь "мертвые зоны" они шли по бульвару, а зоны прострела пересекали со скоростью гепардов. Таким образом они приблизились вплотную к стенам фабрики и забросали окна гранатами. После этого осталось только вытащить трупы, прикончить раненых, погрузить на бронетранспортер мешки с опиумом и взорвать оборудование. Операция прошла на самом высоком уровне.

Рядом с фабрикой оказалась крохотная деревушка. Местные полуголые жители, их было не больше полусотни вместе с детьми, вылезли из своих лачуг и смотрели на солдат с опаской, но с нескрываемой радостью. Видимо, "химики" "Анаконды" здорово им насолили.

Пабст связался по радио с центром и доложил, что задание выполнено.

- Население приветствует силы возмездия! - захохотал он. - Организован показ купальных костюмов.

- И тогда я услышал женский голос,- рассказывал Джон Грей.- "Население нужно убрать полностью",- сказал женский голос. Даже Пабст растерялся. "Как - убрать?" - спрашивает. "Не мне вас учить, - отвечает женский голос. - Вспомните Буронго". Пабст выключил рацию. "Эй! - закричал он островитянам. - Есть у вас, ребятки, лопаты? Яму, яму копать!" Я схватился за автомат, но в это время кто-то сзади, кажется Клеман, огрел меня по каске. Когда я пришел в себя, яма уже была зарыта...

Силач-Повеса встал, подошел к краю площадки и посмотрел из-под ладони на четко вырисовывающийся под заходящим солнцем Оук-порт.

- Ты прав, Джин, здесь готовится какой-то дьявольский концерт. Давай-ка попробуем вместе помешать этому.- Он протянул Геннадию руку.- Только у нас не должно быть тайн друг от друга.

- Я русский,- сказал Геннадий,- советский пионер Геннадий Стратофонтов. В том городестоит памятник моему прапрапрадедушке.

В это время по всему замку прогремел сильный звонок, затопали сапоги, послышались голоса:

- Босс! Босс приехал!

ГЛАВА 13

большинство участников которой устраивают страшный шум,
но некоторые разговаривают вполголоса

В канун ежегодного традиционного праздника Кассиопеи на Больших Эмпиреях произошла сенсация: в Оук-порт прибыл без всякого приглашения, проездом из Зурбагана в Эдинбург, огромный международный симфонический ор-кестр под руководством дирижера князя Грегори фон Нофирогерг. Сторонники выхода на международную арену в сенате ликовали: вот они, результаты последней победы

над финским банановозом со счетом 105:3! Если уж прибыли музыканты, значит, жди теперь какую-нибудь знаменитую футбольную команду "Манчестер Юнайтед" или "Сантос", а то и ленинградский "Зенит".

Толпы жителей столицы собрались вокруг отеля- "Катамаран", который заселяли музыканты. Музыканты всем понравились, Рослые, плечистые, с сизыми носами, с серьгами в ушах, они легко несли в татуированных руках футляры со скрипками, виолончелями, фаготами, контрабасами. Поразила всех внешность дирижера: черная ассирийская борода, рыжие кудри, темные очки, закрывающие пол-лица, треугольная шляпа с плюмажем, фигура десятиборца, огромная узловатая дирижерская палочка величиной с палицу Геракла.

- Крепкие ребята,- сказал Нуфнути Куче лучшему легоперу вселенной Рикко Силле.

Они стояли в первом ряду и разглядывали музыкантов.

- Может, вызовем их на булоножный поединок? - спросил Силла.

- Неплохая идея,- проговорил Нуфнути и вдруг схватил легопера за плечо.- Рикко! Смотри! Смотри, кто среди них!

От автобуса к отелю шел крепкий загорелый мальчик с целой охапкой медных тарелок в руках. Рядом с ним, нагруженный барабанами разных калибров, двигался высокий стройный мужчина с длинными волнистыми волосами, с усами и бородкой.

- Это Геннадий, - проговорил Рикко Силла. - Значит...

- Молчи,- шепнул Нуфнути Куче.

Геннадий уже заметил их. Подойдя ближе, он намеренно уронил тарелки и быстро сказал нагнувшемуся сенатору:

- После захода солнца ждите меня возле памятника дедушке. Ждите столько, сколько понадобится. Рядом со мной - друг.

Едва последние музыканты скрылись в отеле, из окон грянула искрометная музыка Россини.

- Репетируют,- умиленно говорили в толпе. Ассирийская борода и шляпа с плюмажем мелькала в окнах. Нестройное пение, крики, хохот и бульканье летели из отеля. Официанты сбились с ног, поднося в номера лошадиные дозы "Горного дубняка". Потом послышался мощный храп, перекрывающий музыку Россини.

- Спят или репетируют? - недоумевали в толпе.

- И спят, и репетируют,- говорили знатоки. Во второй половине дня Геннадий нанес визит мадам Накамура-Бранчевской.

- О Джин! - протянув руки, сияя своей самой очаровательной улыбкой, воскликнула дама.- Как я рада видеть вас вновь! Мистер Ричард Буги сказал мне, что вы решили посвятить себя борьбе за свободу моего народа. Он очень высокого мнения о вас, а это немало, мой мальчик. Но не будем о политике, она меня мало интересует, я лишь сочувствую патриотам. В это время в комнату вошла Доллис. Она хмуро посмотрела на Геннадия и буркнула: - Ты снова здесь?

- Доллис, как ты нелюбезна! - пожурила ее мадам.- Джин проделал такой большой путь, чтобы вновь увидеть нас. Как здоровье вашей бабушки, Джин?

- Спасибо, мадам. Бабушка и ее брат шлют вам самый сердечный привет. О вас много говорят в наших кругах. О вашем розарии ходят просто фантастические слухи. На последнем уикэнде граф Чарли Бартлет Эстерхаэи-младший, ну тот самый, что отличился в океанской гонке на яхте "Клубника", читал ваши стихи из журнала "Лестница", а несравненная Грейс, княгиня Монако, увидев ваш снимок в журнале, сказала, что, по ее мнению, ваш род восходит к древнейшим французским фамилиям.

Накамура-Бранчевска от волнения даже покрылась красными пятнами и вроде бы закатилась, на секунду потеряла сознание.

- Но как попал в Англию журнал "Лестница"? - пролепетала она.

- Это я привез его, мадам,- внутренне хохоча, с полупоклоном ответил Геннадий.

- О Джин! О мой друг! - совсем уже расплылась в благостной истоме будущая королева, но в это время в парке послышались мужские голоса, и она

пружинисто вскочила, глаза ее сузились, движения приобрели привычную хищную гибкость.

- Извините, мой Друг, у меня сейчас заседание правления фирмы. Мы увидимся завтра на празднике Кассиопеи Вы, конечно, знаете, что это будет очень интересный праздник, - добавила она многозначительно и вышла.

Посмотрев в окно, Геннадий увидел Буги, Мизераблеса, Чанга и Латтифудо, идущих по аллее к дому. Собранные вместе, эти господа казались персонажами страшного сна.

- Ненавижу всю эту банду,- сказала за его спиной Доллис.

Он обернулся и увидел, что девочка смотрит на него нахмуренным, злым взглядом.

- Что за чушь ты болтал матери о французских фамилиях7 - проговорила она и вдруг схватила Геннадия за руку: ~ Знаешь, кто моя мать? Знаешь? - Доллис передернулась, как от судороги. Лицо ее исказилось.- Она преступница!

- Ты что-нибудь узнала? - быстро спросил Геннадий,

- Очень многое. Она преступница! Она хочет поработить наш народ, отдать его в кабалу иностранцам! Я все знаю, и, если ты из их банды, иди, доноси!

- Здесь нельзя говорить,- сказал Геннадий.- Давай выйдем в парк.

Они уселись на краю большого круглого бассейна. Ветви вавилонской ивы надежно скрывали их. Здесь Доллис, волнуясь и чуть не плача, рассказала Геннадию все, что он давно уже знал. Оказалось, что она случайно услышала разговор своей матери с Мамисом, а потом и многое другое. Противоречивые чувства раздирали девочку. Еще бы - ведь она привыкла любить свою мать и даже преклонялась перед ней, перед ее красотой и умом. Сейчас, когда ей открылась страшная правда, она не знала, что предпринять: высказать матери все в глаза, убежать из дому, может быть, покончить с собой?

Она никогда не видела своего отца, погибшего во время цунами, капитана дальнего плавания. Но была уверена, что если бы он был жив, он не дал бы матери скатиться к преступлению.

С горечью слушал Геннадий исповедь своей маленькой подружки, столь похожей на гор дую Ленинград скую чемпионку Наташу Вертопрахову.

Это был ветреный тревожный вечер. Пятна кроваво-красного заката, сквозившего сквозь ветви агавы и юкки, северных пальм и итальянских сосен, ливанского кедра и японской вишни, филодендрона, благородного лавра, колыхались на глади бассейна.

- Этот бассейн сообщается с морем? - спросил Геннадий.

- Да, через подземный тоннель,- машинально ответила Доллис, глядя прямо перед собой остановившимся взглядом.- Там есть решетка-фильтр...

- Решетку можно поднять?

- Стоит только нажать вон ту кнопку внизу.

Геннадий сбежал по ступенькам к самой воде, нажал кнопку и несколько раз негромко позвал;

- Чаби! Чаби! Чаккерс!

После этого он засунул голову в воду и несколько раз позвал друга ультразвуком.

- Ты не спятил, Джин? - спросила изумленная Доллис,

- Слушай, Доллис, сегодня решительный вечер. Многое зависит от нас, от тебя и от меня. Слушай меня внимательно.

Он рассказал ей обо всем: о том, как он попал в плен, на остров Карбункл, о своей поездке в Лондон, о коварных планах Накамура-Бранчевской и об откровениях Ричарда Буги.

- Значит, я не ее дочь,- тихо проговорила Доллис.Значит, все эти годы я была для нее только игрушкой. Значит, никакого отца-капитана у меня не было...

Геннадий давно уже заметил, что по бассейну кругами ходит Чаккерс. Врожденная деликатность, вероятно, мешала бывшему сержанту прервать разговор девочки и мальчика.

- Доллис, ты должна узнать, о чем сейчас совещаются заговорщики. Опасность угрожает не только Оук-порту, но и нашему научному кораблю "Алеша Попович". Готова ты на это? - спросил Геннадий.

- Да,-решительно ответила девочка.

- После двенадцати ночи я буду ждать тебя на Львиной лестнице. Связным у тебя будет один мой друг. Чаби!

Доллис вздрогнула: из воды высунулась лукавая круглолобая физиономия дельфина.

- Привет, Гена,- хрипло сказал Чаби по-русски.- Ну как тебе бабушка, Лондон? Ужас небось какой шум, а?

- Чаби, познакомься, это Доллис.

- Очень приятно, мисс.

- Будешь связным, Чаби. Тут большие дела начинаются.

- Да, я уже слышал, можешь на меня рассчитывать. Кстати, Генок, привет тебе от ваших ребят. Я с ними на прошлой неделе болтал.

- Ну как они? - с волнением спросил Геннадий.

- Да все в порядке, работают по плану. Хорошие мужики: и Рикошетников - настоящая морская душа, и Верестищев, и Шлиер-Довейко, этот всякое видал, и помполит Хрящиков всегда найдет нужное слово, и Барабанчиков, и Телескопов. И, что характерно, Генок, не унижают эти ребята твоего человеческого достоинства. Вот что характерно - понимают нашего брата!

При этих словах Геннадий особенно остро почувствовал, как не хватало ему все это время его друзей, с которыми сам черт не страшен. Однако предаваться размышлениям времени не было. Он встал и сказал:

~ Доллис, Чаби, друзья! Готовы ли вы бороться до конца за идеалы свободы и справедливости?

- Готовы! - в один голос ответили дельфин и девочка.

- Давайте скрепим нашу дружбу и клятву рукопожатием! - торжественно сказал Геннадий.

- За неимением рук предлагаю потереться носами,- смущенно проговорил дельфин.

Мальчик и девочка наклонились и потерлись носами о влажный клюв морского человека.

- Да ну вас, ребята,- пробормотал Чаби.- В такие минуты плакать хочется.

Луна спряталась за голову Серхо Филимоныч Страттофудо, когда Геннадий по водосточной трубе спустился на Сенатскую площадь. Огромная тень памятника закрывала половину площади, и в этой тени за неосвещенными окнами маленького кафе мерцали сигаретки ампирейских легоперов.

- Геннадий,- бросились к нему сенатор Кучe, Рикко Силла и Токтомуран Джечкин.- Как мы рады снова видеть вас, потомка нашего памятника, в добром здравии!

- Спокойно, друзья, сейчас не время для сантиментов!-жестко сказал мальчик.-Есть у вас оружие?

- Есть! - гордо ответил Джечкин.- Шпаги, абордажные сабли, двухствольные пистолеты, пики! Мы очистили весь национальный музей.

Геннадий только усмехнулся, вообразив себе вооруженное таким образом войско, сражающееся против Ричарда Буги.

- Ну хорошо, оружие у вас будет,- сказал он.- Ответьте мне только на такой вопрос. Сможете ли вы за два часа достать двадцать четыре скрипки, шесть виолончелей, шесть контрабасов, десять труб, семь флейт, три кларнета, две арфы, пять гобоев, четыре валторны?..

- С валторнами у нас плохо,- прикинул сенатор Кучe.

- Я достану валторны,- решительно заявил Рикко Силла.

- Прекрасно,- сказал Геннадий.- Теперь слушайте, друзья...

Через час Геннадий соскользнул по громоотводу прямо ко входу в отель "Катамаран". В отеле все шло по плану.

В зале ресторана Джон Грей - Силач-Повеса накачивал "товарищей по оружию". Он стоял посредине огромного стола. размахивал большим, как флаг,

эмпирейским велюром и пел:

Пока на белом свете

Деньжатами разит,

Солдат в лихом берете

Всегда обут и сыт.

Все для тебя несложно,

Покуда ты - солдат!

Твой нож не дремлет в ножнах,

Кулак твой волосат!

А принципы надежно

В швейцарском банке спят!

Захмелевшие ландскнехты бизоньими глотками восторженно ревели:

А принципы надежно

В швейцарском банке спят!

Официанты по знаку Джона Грея вкатывали всё новые бочки несравненного "Горного дубняка". Они были изумлены поведением международных музыкантов, но так как прежде никогда международных музыкантов не видели, то полагали, что так они себя и должны вести, эти международные музыканты.

- Эй, чертенок,- закричал Геннадию Пабст,- иди сюда! Ну-ка, глотни этого бальзама! Завтра ты исполнишь свое соло-пикколо, а, чертенок? - Он склонил к Геннадию свою дремучую рожу и вдруг прослезился: - Не зови меня, пожалуйста, Гориллой, Джинни. Очень прошу, не зови. Разве я похож на гориллу? Разве у меня такие руки, как у гориллы? Разве у меня такие надбровные дуги?

- Именно такие, сэр, - сказал Геннадий.

- Ну хорошо, допускаю... руки, дуги...-хныкал Пабст.- Но разве умеет горилла разговаривать, а, Джинни? Ведь не умеет же, а?

- Умеет,- сказал Джин.- Горилла разговаривает не хуже вас, сэр.

- Как? Горилла умеет разговаривать?! - взревел Пабст.

Он встал и пошел вдоль стола, взывая к товарищам: - Ребята, горилла,

оказывается, умеет разговаривать! Слыхали новость? Горилла! Умеет!

В конце стола он свалился.

Через час и все музыканты оркестра, включая солистов-виртуозов, были готовы. Официанты с большим трудом оттащили гастролеров в номера. Начался немыслимый концерт. Храп, носовой свист, стоны, дьявольский хохот и бредовые выкрики слились в потрясающую симфонию.

Тогда Геннадий и Джон Грей взялись за свое дело. Им нужно было закончить его, пока не явился с совещания маэстро Грегори фон Нофирогерг.

Во внутреннем дворе гостиницы возле пожарной лестницы уже ждали легоперы во главе с Рикко Силлой. Хозяин гостиницы, левый полузащитник дублирующего состава, был предупрежден. Геннадий и Джон Грей заходили поочередно во все номера и везде делали свое дело.

Работа была уже почти закончена, когда друзей застигли в коридоре звуки быстрых шагов и веселые голоса. Скрыться было негде. Джон Грей прислонил к стене футляр с контрабасом И на всякий случай сунул руку в карман, где у него лежал всегда пружинный нож.

Голоса приближались, и вот из-за угла коридора появилась группа людей, впереди которой крупным командирским шагом шла не кто иной, как... родная, личная, неповторимая бабушка Геннадия Мария Спиридоновна Стратофонтова!

Первым желанием Геннадия было, не раздумывая, броситься в объятия родному человеку. Вторым желанием было немедленно спрятаться за футляр контрабаса, что он и сделал Бабушка! Его бабушка на Больших Эмпиреях! Уму непостижимо, как она сюда попала! Но что это? Рядом с бабушкой, отставая на шаг, шествует со своей застывшей улыбкой генеральный консул Старжен Фиц, а за ними несколько ленинградских, явно ленинградских девочек, и среди них Доллис, вернее, не Доллис, а самая настоящая Наташа Вертопрахова. А дальше группа почтенных эмпирейских и советских граждан, и отец Наташи, доктор геологических наук Вертопрахов, и огромный ленинградский поэт Борис

Горошкин. Уж не снится ли это ему? Уж не галлюцинация ли это? Уж не результат ли это нервного напряжения?

Из-за контрабаса Геннадий услышал голос Наташи:

- Девочки, посмотрите, как похож этот бледный красивый музыкант на Джона Грея - Силача-Повесу! Бон суар, месье!

- Бон суар, мадемуазель! - быстро ответил "бледный красивый музыкант".

Геннадий схватил Джона за штанину.

В полном смятении чувств провел Геннадий всю ночь на Львиной лестнице. Тревожно вслушивался он в каждый, шорох, вглядывался в темные воды бухты. Ни Доллис, ни Чаби Чаккерс не явились.

ГЛАВА 14

в которой над кашлем, хлюпаньем и хрустом коленных суставов преобладает мощный голос Марии Спиридоновны, а также звучат стихи огромного поэта

Благосклонный читатель должен простить автору то, что в этой главе он вынужден прервать описание напряженных драматических событий, оставить своего героя в сомнениях и тревоге на Львиной лестнице Оук-порта и совершить не очень-то грациозный скачок в недалекое прошлое, в прохладные июльские дни города Ленинграда.

Было прекрасное дождливое утро, когда Наташа Вертопрахова приехала на дачу Стратофонтовых в Лисий Нос. Мария Спиридоновна в это время, напевая песенку "Мы парни бравые, бравые, бравые...", неумелыми пальцами мастерила котлеты, похожие на аэростаты заграждения.

- Мы должны действовать,- коротко сказала она, выслушав рассказ Наташи о вчерашнем лондонском звонке.

- Но как? - пролепетала растерянная девочка.- Мария Спиридоновна, я очень тревожусь за Генку, ведь он такой фантазер! Однажды в турпоходе наша группа столкнулась с огромным стадом. Стадо шло мимо нас очень долго, и всё

дрожали, боясь быка. И вдруг, представьте, мы видим - верхом на быке едет ваш внук, и бык помахивает хвостом, словно обыкновенное домашнее животное...

- Моя школа!-не без гордости сказала подполковник - Я совершенно не боюсь за Геннадия: он смелый, находчивый и благородный мальчик. Но мы должны действовать, мы должны узнать хотя бы, что там происходит.

- Но как? В газетах совсем ничего не пишут об этой маленькой стране.

- Мы должны поехать на Большие Эмпиреи!

- Мария Спиридоновна, но это же нереально!

- Нереально? - сверкнула очами штурман, смешала в бесформенную массу "аэростаты заграждения", вышла и вернулась в голубой аэрофлотской форме с орденской колодкой.

И при взгляде на нее Наташа поняла, что это реально, что все реально, что в мире нет ничего нереального.

Бабушка начала свою деятельность с Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Здесь в кратчайшие сроки она проштудировала все материалы по Республике Большие Эмпиреи и Карбункл. Помогли и семейные архивы. В частности, в походном сундучке адмирала бабушка обнаружила русско-эмпирейский словарь, составленный врачом клипера "Безупречный" Фогель-Кукушкиным. В результате не прошло и недели, а Мария Спиридоновна уже прекрасно разбиралась в истории, этнографии и экономике далекой, но близкой страны и могла сносно объясняться по-эмпирейски.

После этого бабушка обратилась с запросом в общество "Альбатрос", которое занималось культурными связями с народами Океании.

- Увы! - сказал научный консультант.- Наши связи с Большими Эмпиреями очень ограниченны. Мы пытаемся наладить с ними обмен книгами, картинами, просто добрым словом, но увы... страна эта так далека, а их единственный дипломат Старжен Фиц, проживающий в Токио, не отвечает на наши письма.

- Это дело поправимое,- энергично сказала бабушка, и консультант приободрился.

Бабушка направилась в соответствующие организации с предложениями усилить работу "Альбатроса" по части связей с Большими Эмпиреями. Соответствующие организации отнеслись к ее предложениям положительно.

- Пусть сокращаются большие расстояния,- сказали они.- А вам, Мария Спиридоновна, спасибо за хорошую инициативу. Видим, что есть у вас еще порох в пороховницах.

Порох у бабушки действительно был. С невероятной энергией она взялась за дело. Вскоре в общество влились три коллективных члена: фабрика мягкой игрушки № 4, крупный северный аэропорт и огромный ленинградский поэт Борис Горошкин. Почетным президентом общества был избран один из первых русских дарвинистов академик Флюоресцентов. Надо ли говорить о том, что во всех начинаниях сопутствовала Марии Спиридоновне юная чемпионка Наталья Вертопрахова. Добровольным курьером крутился вокруг на общественных началах наперсник детских игр Валька Брюквин. В Страну Восходящего Солнца полетели телеграммы. Ответа не последовало. Бабушка села на телефон. Двое суток она не сомкнула глаз, разыскивая Старжена Фица через муниципалитет и полицейское управление японской столицы. Наконец в трубке послышался кашель.

- Господин Старжен Фиц! С вами говорят из общества "Альбатрос"! - закричала бабушка.

- Очень, очень, очень... - послышалось в трубке.

Потом все стихло.

- Господин Старжен Фиц! - крикнула бабушка.

- Очень приятно, мисс,- сразу же отозвался приветливый старческий голос.

- Я не мисс! - крикнула бабушка.

- Пардон, мадам,- скрипнул Старжен Фиц.

- Я не мадам!

- Как же мне вас называть?

Бабушка на миг растерялась. Действительно, как же ему ее называть? Ведь не "товарищем штурманом" в самом деле...

- Зовите меня Марией! - крикнула бабушка.

- Мария! - закричал Старжен Фиц.- Мария, Мария, Мария...

- Господин генеральный консул, почему вы не отвечали на наши телеграммы? - спросила бабушка.

- Не было средств, - хлюпнул носом консул. - Конъюнктура все время падает, Мария. Тресты душат мелкого буржуа.

- Господин Старжен Фиц, мы приглашаем вас на переговоры по вопросу культурных контактов между нашими странами.

- Седой?

- В каком смысле?

- Кроме дороги, гостиницы и карманных денег, еда оплачивается?

- Уж будьте уверены! -теряя терпение, гаркнула^ бабушка.

Повесив трубку, она вдруг изумилась: весь разговор с эмпирейским дипломатом шел на чистом русском языке!

Итак, на средства двух коллективных членов общества (фабрика мягкой игрушки № 4 и крупный северный аэропорт) старина Старжен Фиц снялся с насиженного места и прибыл самолетом в Ленинград.

Общество встречало почетного гостя почти в полном составе, за исключением Бориса Горошкина.

Дипломат был прекрасен в расшитом золотом мундире и в традиционном головном уборе, отдаленно напоминавшем поварской колпак. С хрустом преклонив колено, он поцеловал бетон аэропорта, обвел руками пространство и воскликнул:

- Узнаю! Все встало в памяти, господа! Ведь я, господа, старый петербуржец!

В это время радио любезным голосом сказало:

- Господин Севрюгин Феликс Вениаминович, прибывший из Токио, вас встречает ваша сестра Таисия. В руках у Таисии гладиолус.

Вскрикнув от радости, Старжен Фиц заключил в объятия ближайшую старушку с

гладиолусом.

- Тасенька, родная! Ничуть не изменилась! Ни капельки! Старушка вырывалась до тех пор, пока не подошла настоящая Тасенька, которая тоже за шестьдесят лет "ничуть не изменилась".

По дороге с аэропорта в "Асторию" дипломат проявлял вежливое, но настойчивое любопытство:

- Этот у-ни-вер-маг частный? - спрашивал он Марию Спиридоновну.

- У нас, Феликс Вениаминович, все государственное,- поясняла бабушка.

- Да-да, понимаю, -сочувственно кивал Старжен Фиц.- Я все понимаю, Мария. Скажите, а эти "Фрукты - овощи" частные?

- Все государственное,- терпеливо говорила бабушка.

- Да-да, все, абсолютно все! А эта парикмахерская частная?

- Феликс Вениаминович,- немного даже рассердилась бабушка,- вы же русский человек! Неужели не понимаете? Ничего у нас нет частного, и никакие монополии на нас не давят.

В честь высокого гостя общество устроило обед в ресторане Дома архитектора. Обед прошел на замечательном уровне, если не считать того, что гость то и дело убегал на кухню и совал нос во все кастрюли.

В конце обеда поэт Горошкин, который, конечно же, на сей раз присутствовал, прочел начало новой поэмы:

Эмпиреи!

Я немею!

Чую ветер голубой!

Чую, но не очумею!

Ближе берег мне родной!

- Браво, вы просто Апухтин! - воскликнул Старжен, отчего огромный поэт едва не подавился стручком.

После обеда Старжен Фиц и Мария Спиридоновна удалились на деловое

совещание.

- Ну вот, господин генеральный консул, вы познакомились теперь с членами нашего "Альбатроса",- начала Мария Спиридоновна.- К сожалению, наш президент академик Флюоресцентов уже много лет прикован к постели.

- Прикован к постели? - воскликнул Старжен Фиц.- А чем его лечат?

- Думаю, что антибиотиками,-ответила Мария Спиридоновна.

- Аку! - закричал консул.- Аку, аку, аку...- Он замолчал с застывшей улыбкой на устах.

Привыкшая уже к этому феномену, бабушка спокойно выждала.

- Аку, аку-пунктура! -завопил консул.- Только иглоукалывание спасет нашего друга. Берусь за умеренное вознаграждение поставить академика на ноги. Я лучший знаток тибетской медицины в Юго-Восточной Азии, и если бы не интриги...

- Давайте вернемся к этому позднее,- сказала бабушка.- Не вертитесь, пожалуйста, господин генеральный консул.

- Что делается на кухне? - спросил Старжен Фиц, тревожно принюхиваясь.

- Моют посуду, - начала сердиться бабушка.

- Чем? - вскричал дипломат.- Неужели они обходятся без порошка "Сальвиола"? Я немедленно берусь доставить пробную партию этого чудо-порошка! Об условиях договоримся.

- Господин генеральный консул! - повысила голос бабушка.

- Дайте вашу руку, Мария! - прошептал дипломат.Нет, левую. Бугор Венеры, Мария, у вас резко выделен, линия таланта уникальная и пересекается с линией чести. Бойтесь первых двух дней полнолуния, Мария. Эти дни...

- Послушайте, перестаньте пороть этот вздор! - вскричала бабушка.- Я бывший штурман авиации, прошла всестороннюю подготовку. Понятно? Мы хотим послать в вашу страну культурно-спортивную делегацию. Как вы и ваше правительство посмотрите на это?

- Милости просим! - возопил Старжен фиц.- Я буду вам сопутствовать, конечно с едой, и сам с удовольствием познакомлюсь со своей страной.

- Вы хотите сказать, что вы...

-- Да, Мария, я никогда не был в своей стране. Увы, Мария, таковы гримасы нашей потусторонней жизни!

Мария Спиридоновна почувствовала сильное головокружение, как будто вошла в пике.

- Так,- сказала она, выходя из пике.- Состав делегации таков. Я - глава. Одновременно собираюсь выступить в соревнованиях по баттерфляю и по прыжкам с трамплина. Поэт Горошкин прочтет стихи. Доктор геологии Вертопрахов расскажет о разведке наших и зарубежных недр. Его дочь Наталья возглавит команду "Юная грация". По-моему, состав очень представительный.

- В высшей степени представительный! - воскликнул генеральный консул.- Мужчинам могу предложить чикагские носки и запонки, а вам, дамы...- он заговорщически подмигнул,- ожерелья из почти настоящего жемчуга. За все одиннадцать рублей девяносто копеек.

- Эх, Феликс Вениаминович, Феликс Вениаминович,- покачала головой бабушка,- как крепко засел в вас этот дух наживы...

Итак, в то время когда наш герой совершал тайный рейс в компании наемников, делегация "Альбатроса" на совершенно законных основаниях продвигалась к Большим Эмпиреям лайнером компании "ПАН-АМ". Аллигейтер, Румпелып-тильцхен и другие агенты Интерпола весь рейс до Зурбага-на не сводили глаз с суетливого Старжена Фица, а также с поэта Горошкина, который брал на карандаш зарубежные впечатления.

Любезный читатель, еще раз прими мои извинения за вынужденное отступление в недалекое прошлое. Дай руку, мой благосклонный друг, и мы вместе, набравшись мужества, подойдем к порогу решительных и яростных событий.

Дело в том, что, пока я рассказывал об обществе "Альбатрос", в тропической ночи близ атолла Фео, в полукабельтове от мирно дремавшего на

якоре "Алеши Поповича" всплыла пиратская подлодка "Голубой кит".

Чаби Чаккерс, посланный Доллис, опоздал...

ГЛАВА 15 и последняя,

в которой смешались все звуки

В канун Дня Кассиопеи популярнейшая на островах газета "Ежедневный фонтан" опубликовала статью:

"С праздником, дорогие друзья!

Мы рады сообщить вам, что в этом году День Кассиопеи будет особенно торжественным. Успехи наших мужественных легоперов, особенно последние победы над финским банано-возом, либерийским бензовозом и норвежским жировозом, создали нашей маленькой стране международную известность.

Мы рады приветствовать здесь культурно-спортивную делегацию общества "Альбатрос" во главе с госпожой Мария. Кстати, сообщаем, что вчера госпожа Мария (рост 185, вес 90) показала в плаванье баттерфляем лучший результат сезона. Браво, Мария! Так держать! Мы надеемся, что ленинградская команда "Юная грация" полностью устранит последствия печального недоразумения с фрегатом "Алеша Попович". Мы посылаем свой привет экипажу этого научного галеона! Не обижайтесь на нас, дорогие друзья! Милости просим!

Гвоздем завтрашней программы безусловно явится выступление огромного международного оркестра под управлением выдающегося маэстро Грегори фон Нофирогерга. Он исполнит Второй концерт для фортепиано с оркестром Чайковского, а также сюиту известного композитора-авангардиста Джорджа Садовникера "Скандал на центральном вокзале".

Праздник закончится массовым булоногом вокруг памятника спасителю нашей свободы Серхо Филимоныч Страт-тофудо. Мы надеемся, что даже у наших братьев с острова Карбункл будет в этот день сносное настроение".

И вот перед нами, читатель, центральная набережная Оук-порта, запруженная

праздничной, яркой толпой. На эстраде покоряют сердца юные мастерицы художественной гимнастики. На трибуне для почетных гостей, в центре, восседает мадам Накамура-Бранчевска в царственно прекрасном наряде с ожерельями, браслетами и диадемами. На помосте для оркестра, кряхтя, стеная, держась за затылки, глотая таблетки, клокоча пивом, усаживаются виртуозы.

Легкой пружинистой походкой поднялся маэстро Грегори фон Нофирогерг. Поглаживая ассирийскую бороду, подкручивая огненно-рыжие кудри, постукивая узловатой палицей, блестя сумасшедшим огнем сквозь темные очки, он прошелся среди своих музыкантов, ободряя их:

- Выше головы, шакалы! Кто хочет опохмелиться, опохмеляйтесь! Главное, чтоб руки не дрожали.

Геннадий со своей флейтой-пикколо (миниатюрным автоматом "Стенли") прятался в глубине, за футлярами арф. Он дрожал от возбуждения: пройдет ли все так, как он задумал, не подведут ли простодушные легоперы?

Буги - Нофирогерг подсел к нему и зашептал на ухо:

- Смотри, малыш, королева на месте. Только короны пока не хватает, но я уверен, что и корону она уже припасла. Ждет начала концерта, ждет, когда я сброшу бороду и парик и объявлю ее владычицей Больших Эмпиреев и Карбункл. Ха-ха! Представляю себе ее вид, когда я объявлю.

Объявить-то объявлю, да только не ее. Ну, малыш, устроим мы сегодня фестиваль! Первым делом открою огонь из минометов по памятнику! Минометики-то у меня в контрабасах или как?

- В контрабасах, сэр! - подтвердил Геннадий.

- А ведь правда неплохая идея с оркестром? - ухмыльнулся Буги.- Голова у меня пока что работает, а, Джин? Только эти олухи разинут рты, чтобы послушать Чайковского, как мы достанем свои игрушки Только сперва еще один сюрприз будет. Увидишь - закачаешься!

Маэстро фон Нофирогерг похлопал мальчика по плечу и отправился поднимать боевой дух струнной группы.

Геннадий тревожно обвел взглядом набережную, пеструю толпу, в первых рядах которой сидели на чемоданах легопе-ры во главе с Рикко Силлой, трибуну для почетных гостей, среди которых сидела его дорогая бабушка, доктор Вертопрахов и поэт Горошкин. Что это за сюрприз, о котором сказал Буги? Почему не пришла на Львиную лестницу Доллис? Куда исчез Чаби Чаккерс?

Послышались бешеные аплодисменты и крики "Увай-увай", которыми эмпирейцы выражают восторг. Команда "Юная грация" покидала круглую эстраду. По радио объявили:

"А сейчас выступит юная ленинградская чемпионка Натали Вертупруго! Вы увидите изящество и мощь, скромность и артистизм!"

Снова послышались хлопки и крики "Увай-увай", но вдруг эти веселые звуки были перекрыты низким утробным воем судовой сирены.

Из-за углового бастиона появился благородный нос корабля науки "Алеши Поповича". В толпе произошло сильное движение, послышались было приветствия, но потом воцарилось смущенное молчание, эмпирейцам было стыдно за тот ужасающий день, когда "Алеше Поповичу" пришлось покинуть их гавань. Споры об этом инциденте кипели весь месяц в барах и кафе" и все сошлись на том, что хотя во всем виноваты "кроты", но они, граждане Оук-порта, тоже хороши - поверили какой-то ерунде, дешевой фальшивке

В полном молчании "Алеша Попович" обогнул волнолом, пересек бухту и стал к стенке Но что это? Вместо симпатичных, улыбчивых моряков на палубе орудовали какие-то мрачные типы в тропических комбинезонах.

"Вот он, этот дьявольский сюрприз!" - похолодев, догадался Геннадий.

Благосклонный читатель, не обессудь, но сейчас нам с тобой придется вернуться к событиям прошедшей ночи.

Расставшись с Геннадием, Доллис бросилась в кабинет своей "матери". Она едва успела спрятаться в огромной китайской вазе, как в кабинет, побрякивая кубиками льда в бокалах, вошли заговорщики. Не прошло и получаса, как девочка услышала обо всем и об автоматах в скрипичных футлярах, и о плане

захвата с провокационной целью "Поповича", и о том, что завтра ее "мать" станет королевой Эм-пирейской.

- Ты просто гений, Дик,- волнующим голосом сказала мадам. - Все так гениально придумано, что неудачи быть не может. Ну, а на крайний случай я припасла еще кое-что. - И она сказала такое, что Доллис едва не потеряла сознания.

Едва бандиты покинули кабинет, Доллис ринулась к бассейну, вызвала Чаби и приказала ему мчаться к советскому судну, чтобы предупредить об опасности. Чаби тут же без лишних разговоров ушел в глубину, а Доллис побежала было уже в город на свидание с Геной, как вдруг была застигнута задыхающимся глыбоподобным Кафро Латтифудо.

- Эй, девчонка, то есть ваше высочество! - прохрипел он.- Приказано вас препроводить в ваши покои и, будь оно проклято, не отходить от вас ни на шаг.

- Это кем же приказано? - закричала Доллис, пытаясь вырваться.

- Мамашей твоей, то есть ее величеством. Не отходи, говорит, ни на шаг, все равно, говорит, ни на что больше не годишься. И это мне, кандидату в сенаторы! Вот она, монархия, шутить не любит!-Латтифудо икнул, отчего с соседнего дерева сразу поднялось несколько птиц.

- Пустите, чудовище! - крикнула Доллис.

- Не пущу, сокровище,- хмыкнул Латтифудо.

Мы уже знаем, что Чаби Чаккерс опоздал. Что поделаешь - радиосигналы обгоняют даже дельфинов! Получив по радио приказ, "Голубой кит" взял на абордаж мирное научное судно.

Приблизившись к судну, Чаби Чаккерс увидел, что на борту его кипит схватка - безоружные моряки и ученые пытались дать отпор вооруженным до зубов бандитам. Могучий Шлиер-Довейко направо и налево крушил квадратные челюсти "рыцарей Запада". Друг его Володя Телескопов оборонялся плотницким инструментом. Капитан Рико-шетников, помполит Хрящиков и несколько матросов

героически защищали радиорубку, откуда Витя Половинчатый вещал всему миру о беспрецедентном пиратском нападении на мирный советский корабль.

Надо сказать, что рукопашная схватка складывалась отнюдь не в пользу тренированных по специальной методе ландскнехтов. Особенно туго им пришлось в районе камбуза, где кок Есеналиев со своими артельщиками встретили их остатками вчерашнего борща, кашей, пюре, прочими гарнирами, струями томатного сока и компота.

Однако затрещали автоматы, пролилась кровь, и капитан Рикошетников приказал прекратить бессмысленное сопротивление. Увы, пули есть пули...

Наемники согнали весь экипаж в помещение столовой. Возле каждого иллюминатора встали автоматчики. С подводной лодки на борт "Алеши Поповича" началась спешная погрузка какого-то старого оружия, ржавых винтовок, поломанных минометов и пулеметов. В этом и состоял зловещий план Ричарда Буги: показать наивным эмпирейцам, что "Алеша Попович" набит оружием, что советские моряки вовсе не исследовали прибрежный шельф и впадину Яу, а, напротив, готовились захватить их маленькую страну.

Чаби Чаккерс в ярости от своего бессилия и невозможности помочь друзьям кружил вокруг "Алеши Поповича". Вдруг он услышал крик:

- Эй, да это, никак, ты, сержант? С борта "Поповича" свешивался долговязый татуированный детина. Чаби сразу узнал его и хрипло выругался.

- Годдем! Это ты, Фрэнки Карбо! Мало тебе Мьетвиня, сукин сын!

- Здесь мне побольше платят! - хвастливо крикнул Фрэнки.

- Чтоб ты подавился этими деньгами, ублюдок! - гаркнул дельфин.

- Плачет по тебе военно-полевой суд, дезертир! - заорал Фрэнки.

- Пусть плачет! - рявкнул Чаби, выпрыгнул из воды, схватил своими могучими челюстями негодяя за чуб и увлек его в пучину. Одним бандитом в мире стало меньше.

Между тем в помещение столовой вошел элегантный господин в светлом костюме, мистер Кингсли Брейнвен Мамис.

- Господин капитан, господа! - вежливо обратился он к экипажу "Поповича".- Вы можете чувствовать себя почти в полной безопасности. От вас требуется очень немногое. Нужно, чтобы по приходе в Оук-порт один из вас - предпочтительно вы, господин капитан,- выступил перед населением и рассказал всю правду.

- Какую правду? - спросил, скрестив руки на груди, Рикошетников.

- Нужно снять маску, сэр,-улыбнулся Мамис.-Рассказать народу о военном характере вашей экспедиции, о планах захвата этих живописных островов. Ведь ваше судно напичкано оружием, буквально нафаршировано им, сэр.

Рев возмущения вырвался из десятков глоток. Рикошетников встал.

- Никто из нас никогда не пойдет на это. Ваша провокация обречена на провал.

- В таком случае вас всех придется уничтожить,- печально улыбнулся Мамис.

- Наше правительство этого так не оставит, - спокойно сказал Рикошетников.- Шутите с огнем, мистер.

- Ваше правительство далеко, а наши автоматы близко.- Мамис посмотрел на часы.- Десять минут на размышление, господа. После этого откроем огонь.

Прошло пять минут. Мамису стало не по себе под взглядами этих словно высеченных из камня лиц.

- Начнем с вас, капитан,- пробормотал он.

- Благодарю за честь,- усмехнулся Рикошетников. "Крепкие ребятишки,- нервно подумал Мамис.- Неужели придется стрелять? С советскими действительно шутки плохи".

- Отдаю должное вашему мужеству, господа, но я тоже выполняю свой долг.

- Грязный долг,- пробасил Шлиер-Довейко. Прошло десять минут, когда вдруг поднялся плотник Володя Телескопов.

- Ну, ребята, раз уж никто из вас не хочет рассказать правду, тогда уж

мне придется,- сказал он, почесывая в затылке.

- Английским владеете? - радостно крикнул Мамис.

- А как же,- ухмыльнулся Телескопов.- Сёртенли.

- Идите за мной!

Итак, "Алеша Попович" под взглядами тысяч глаз стал к стенке. Еще не были заведены швартовы и спущен трап, когда на палубе появился Кингсли Брейнвен Мамис и Володя Телескопов. Мамис взял в руку микрофон и сказал:

- С праздником, дорогие друзья эмпирейцы!.

В толпе возник ропот.

- Кто этот иностранец? Что это за господин неприятной наружности? Что ему нужно на корабле дружественной страны?

Как бы ни были наивны эмпирейцы, но они сразу почувствовали недоброе.

Мамис улыбнулся:

- Господа, я представитель страны, которая ценит юмор, но не любит шутить. Наша довольно-таки мощная держава обожает малые страны. В доказательство этого я приношу на алтарь нашей дружбы этого жирного тельца,- он обвел руками судно,- этот советский военный корабль. Да-да, господа, русские водили вас за нос. Они только делали вид, что исследуют океан, а на самом деле готовили захват Оук-пор-та. Но смелые люди помешали этим проискам!

- Ложь!-крикнули в толпе. - Русские - хорошие ребята!

- Согласен,- сказал Мамис,- это хорошие ребята, они очень хорошо стреляют из автоматов и взрывают дома. Вы сможете сами убедиться в том, что "Алеша Попович" буквально нафарширован оружием. Но прежде перед вами выступит псевдо-плотник, а в действительности майор советской разведки Владимир Телескопов. Он расскажет вам всю правду. Пожалуйста, Владимир Екатеринович.

Мамис передал микрофон Телескопову. Володя малость засмущался, но потом, откашлявшись, заговорил на прекрасном эмпирейском языке.

- Значит, с праздником! Я тут у вас, товарищи, не первый раз гуляю. Еще в

шестьдесят четвертом проездом из Халигалии за рубанком заезжал. Может, кто помнит?

- Еще бы не помнить! - закричали два эмпирейца, слесарь Фирциг и библиотекарь Градус.- Еще бы не помнить Володечку! Смутно припоминаем.

- Это очень даже приятно, что не забыли,- сказал Володя.- Ну, а что касается правды, так этот вот утконосый господинчик,- он показал через плечо большим пальцем на Мамиса,- со своим хулиганьем совершили против нашего корабля науки чистейшую международную провокацию Никто их не приглашал на наше судно, а тем более с огнестрельным оружием. В таких условиях исследовать океанские глубины довольно-таки трудно, а ведь каждый знает, что океан - это будущее человечества! И насчет майорского звания брехня, потому что я ефрейтор запаса, действительную протрубил на складе "бэ-у", то есть подержанного обмундирования. Прошу представителей органов милиции подняться на борт и составить акт. Спасибо за внимание.

Взбешенный Мамис, не помня себя, выхватил из кармана пистолет и направил на Володю. Володя вытер нос рукавом и, набычившись, пошел на Мамиса.

- Стрелять хочешь, позорник? А ну попробуй стрельни!

Толпа на мгновение оцепенела. Вдруг в воздухе что-то пронеслось, и все увидели на голове Мамиса огромного кота с развевающимся хвостом.

Пуша Шуткин, а это был он, могучими лапами растерзал прическу авантюриста, свалил его на палубу га взволнованно пропел:

Маэстро Шуткин никогда
Не трогал человека,
Но сей мерзавец, господа,
Духовная калека!
Подонок белобрысый
Достоин быть лишь крысой!

Толпа взревела и бросилась по трапу на борт "Алеши Поповича". Ничего не понимающие наемники тут же были разоружены советскими моряками и

разгневанными эмпи-рейцами. Некоторые наемники прыгали за борт на радость Чаби Чаккерсу. Мамис рыдал в железных объятиях Шлиер-Довейко

На набережной творилось что-то невообразимое. Геннадий ликовал. Мадам Накамура-Бранчевска, покусав некоторое время свои прекрасные пунцовые губы, отбросила перламутровый веер и подошла к микрофону.

- Друзья,- сказала она своим глубоким голосом, и толпа сразу затихла, потому что привыкла прислушиваться к словам обаятельной дамы.- Друзья, давайте не будем нарушать нашего дивного, священного праздника. Наш народ издавна любил и понимал музыку. Клавесины баронессы де Клиссон, находящиеся в моем доме, лучше всех слов говорят об этом. Итак, забудем все грубое, жуткое, некрасивое и предоставим слово скрипкам, фортепьяно, арфам, валторнам... Маэстро фон Нофирогерг, вуаля!

В тишине, наступившей после этих слов, четко простучали шаги удивительного дирижера. Он встал перед пультом, резко взмахнул своей палицей и рявкнул:

- Открыть футляры!

Наемники бросились к футлярам и стали извлекать оттуда на свет божий скрипки, контрабасы, виолончели, валторны. Изумлению их не было предела, и оно еще усилилось, когда они увидели, что из толпы на них смотрят их любимые игрушки - автоматы, гранатометы и даже маленькая безотказная пушка.

Маэстро фон Нофирогерг не верил своим глазам. Все закружилось перед ним, когда он увидел, что к нему приближаются, наставив автоматы, его верный паж Джин Стрейт-фонд и Джон Грей - Силач-Повеса.

- Эй, шакалы, в чем дело? - заорал дирижер

- Руки вверх! - крикнул ему Силач-Повеса, а Геннадий сорвал рыжий парик и ассирийскую бороду.

- Братцы, да это же Дик Буги! - закричали в толпе.- Ишь, пройдоха! Мало его били в трактире "Синька"!

Перекрывая весь шум, над набережной прокатился голос народною любимца

Рикко Силлы.

- Наемные убийцы, сдавайтесь! Вы все под прицелом! В оркестре руки поползли вверх, послышались рыдания, кое-кто, в том числе Горилла Пабст, потерял сознание. На эстраду мячиком вспрыгнул сенатор Нуфнути Куче в своей неизменной майке с цифрой "3".

- Друзья! - закричал он.- Наш народ едва не стал жертвой заговора этой недостойной дамы Накамура-Бранчев-ской и известного всем нам мошенника Ричарда Буги. Заговор сорван, дорогие друзья, и сорван он благодаря вот этому храброму мальчику! - Нуфнути Куче положил руку на плечо Геннадию.- Этот мальчик, друзья, советский пионер Геннадий Стратофонтов, прямой потомок нашего памятника, русского адмирала Серхо Филимоныч Страттофудо!

Восторженный рев потряс набережную. В воздух взлетели шляпы. Радостно загудел "Алеша Попович".

Геннадий стоял, вытянувшись в струнку, и, что греха таить, слезы застыли у него на глазах. Сквозь эти слезы он видел только свою дорогую бабушку, которая широкими плечами прокладывала к нему путь в толпе. Движения ее, как всегда, напоминали баттерфляй.

- В знак нашей глубокой признательности мы награждаем Геннадия Стратофонтова "Знаком Почетного Эмпирей-ца"! - торжественно провозгласил сенатор и повесил на шею Геннадия якорек с припаянной к нему старинной монетой.

К сожалению, любезный читатель, на этом наше повествование не кончается, и ты должен временно сдержать вздох облегчения, слезы умиления и даже жизнерадостный смех.

- Проклятый щенок! Предатель! - вдруг завопил не своим голосом Ричард Буги.

Отпрыгнув в сторону, он метнул прямо в Геннадия свою палицу, на конце которой сверкнуло в лучах солнца тонкое стальное жало. С гортанным криком наперерез палице бросился Джон Грей - Силач-Повеса и рухнул к ногам

Геннадия, пораженный в грудь.

Геннадий упал на колени рядом с другом. Джон Грей, оскалив зубы, катался по помосту и пытался вырвать из своей груди страшный клинок.

- Джон, не надо! Не трогай нож! - отчаянно закричал Геннадий, но было уже поздно.

Обезумевший от боли, Грей вырвал из груди клинок, кровь брызнула фонтаном.

- Джон! Джон! - кричал Геннадий, пытаясь зажать рану. Мгновенно побледневший как полотно, Джон Грей улыб-нулся - боль оставила его.

- Прощай, Гена,- проговорил он.- Ты парень первого класса.

- Доктора! - закричал Геннадий.-Джон, подожди...

- Доктора уже не нужно...- проговорил еле слышно Джон Грей.- Послушай, Гена, может, я не совсем правиль-но жил, но умираю я правильно. Напиши об этом Рите и Нелли.- Он снова улыбнулся.- А все-таки что-то было, что-то было... при свете лунном кружились пары...

Голова легендарного Силача-Повесы бессильно упала набок. Потрясенный этой мгновенной трагедией, мальчик некоторое время не мог двинуться с места. А набережная тем временем бурлила в какой-то хаотической неразберихе.

Сжав зубы, Геннадий вскочил на ноги.

- Где Буги? Схвачен? Где мадам? - спросил он Рикко Силлу.

- Буги? Мадам? - растерянно переспросил Силла.- А черт их знает, где они. Куда-то ушли.

Простодушные эмпирейцы и не подумали задержать преступников. Они вообще не привыкли кого-то задерживать, хватать, преследовать.

Из толпы вынырнула и подбежала к Геннадию Доллис. Она была в купальном костюме, мокрая, задыхающаяся, с расширенными до невозможности глазами.

- Геннадий, быстрее... За мной гонится Латтифудо... я проплыла через тоннель... Они, мать и Буги, удрали катером на Карбункл... Я все узнала, они хотят взорвать наш вулкан, вызвать извержение, чтобы началась паника. Они

приготовили это давно, на крайний случай. Кабель проложен по дну пролива, в кратере тротил...

В этот момент к мальчику наконец пробрались бабушка и Наташа.

- Геннадий, дорогой! - вскричала Мария Спиридонов-на, заключая внука в могучие объятия. Каково же было ее удивление, когда внук ускользнул из ее рук.

- Извини, бабуля, мне нужно бежать.

Краем глаза Геннадий заметил, что Доллис и Наташа с удивлением смотрят друг на друга. Доллис в купальнике казалась почти зеркальной копией Наташи, одетой в спортивное трико, и наоборот.

Сломя голову Геннадий бросился к бухте. Сильно оттолкнувшись от стенки, он прыгнул в воду и поплыл стремительным кролем.

Вскоре он почувствовал, что за ним плывет кто-то еще. Он оглянулся и увидел Доллис.

- Доллис, - крикнул он, - где сейчас Чаби Чаккерс?

- Я не Доллис! Я Наташа! - последовал ответ.- Ту девочку схватил какой-то безобразный толстяк.

- Только тебя тут не хватало, Наташка!-рассердился Гена,- Поворачивай назад! Чаби! Чаби! 0-оо-н-н-н-э-э-э-у!

Дельфин вынырнул из глубины в воротах порта.

- Забирайтесь! - крикнул он.- Держитесь крепче!

- Чаби, видишь впереди пенный бурун? Нужно догнать этот катер! ~ прокричал Геннадий.

- Вас понял! Попробую!

Чаби достиг берега Карбункла в тот момент, когда На-камура-Бранчевска, подобрав королевское платье, и Ричард Буги с развевающимися фалдами фрака карабкались по крутой тропинке вверх. Геннадий и Наташа устремились за ними.

Сквозь колючие заросли, по дорожкам парка, по мягкому мху и песку мальчик и девочка выскочили на холмистое плоскогорье, над которым возвышалась

старинная башня - место первого заточения Геннадия. Между деревьев мелькало королевское платье и дирижерский фрак. Мадам и Буги бежали к башне. Вскоре они исчезли из виду.

- Стой, Наташка! - скомандовал Геннадий, когда они оказались у подножия мрачного сооружения.

Наташа расширенными от изумления глазами смотрела, как Гена Стратофонтов, этот ничем особенно-то не примечательный ее одноклассник, деловито отваливает какой-то валун, вынимает из ямки тяжелый автомат и ставит его на боевой взвод.

- Ты со мной не пойдешь,- сказал Гена,- это опасно.

- Я от тебя не отстану! - сердито сказала Наташа.- Чем я хуже этой твоей Доллис?

- Времени нет спорить! Пошли! Они осторожно обогнули башню и увидели, что входная дверь не заперта. Геннадий шагнул первым и чуть не вскрикнул: нога его повисла в воздухе, пола в башне не было.

Геннадий понял, что каменный пол башни опускается и поднимается наподобие лифта. Он осмотрелся и увидел, что одна из щелей между камнями кладки шире других. Просунув в эту щель палец, он нащупал две кнопки и нажал верхнюю. Послышался тихий гул -- из тьмы колодца поднялся пол. Мальчик и девочка вбежали в башню. Нажатие нижней кнопки - и пол пошел вниз.

Он остановился перед входом в длинный, слабо освещенный тоннель. Геннадий и Наташа ринулись вперед.

- Генка, скажи хотя бы, куда мы бежим? - спросила Наташа.

- Они хотят взорвать кратер вулкана и уничтожить город! - ответил на бегу Геннадий.

Тоннель резко повернул вправо, и впереди метрах в пятидесяти они увидели две мужские фигуры. Одного из мужчин Геннадий сразу узнал - это был Грумло, тот самый, что чуть не прикончил его в недалеком прошлом.

- Стой! - крикнул Геннадию Грумло.- Стрелять будем! Геннадий увидел

направленные на них карабины. Он остановился.

- Что вам здесь надо?- Охранники медленно приближались, держа пальцы на спусковых крючках.

Геннадий бросился на пол, выстрелил на лету в Грумло, а вторым выстрелом, уже с пола, сразил его напарника.

Перепрыгнув через неподвижные тела, мальчик и девочка бросились вперед. Еще один поворот, еще, еще, и вдруг перед ними открылась картина немыслимой красоты. За распахнутой стальной дверью был большой зал с огромной стеклянной стеной, и за этой стеной ветвились кораллы, колыхались стебли подводных растений, проплывали стайки рыб. Вот повис на своих крыльях, выпучив маленькие глазки, желтобрюхий скат. Из расселины показались щупальца осьминога.

Наташа и Геннадий, ошеломленные, стояли на пороге этого подводного зала. В зеленоватых сумерках, в фантастической игре света и тени они не сразу заметили тех, за кем гнались. Те, в свою очередь, тоже не видели их.

Несостоявшаяся королева Больших Эмпиреев и Карбункла и незадачливый основатель династии Буги-Вуги сидели в креслах перед каким-то сложным пультом и устало курили.

- Ты меня не бросишь, Дик, не предашь? - хриплым голосом спросила Накамура-Бранчевска,- Учти, у меня еще остались зубы.

- Включай, дарлинг! Устрой им фейерверк к праздничку! - усмехнулся Буги.

- Включаю первый заряд! - резко сказала мадам и повернула какой-то рубильник.

В следующую минуту Геннадий длинной очередью из автомата превратил пульт в дымящуюся искореженную кучу металла.

Мальчик и девочка вбежали в зал.

- Руки вверх, преступники! - крикнул Геннадий. Подняв руки над головой, с искаженными от страха и ненависти лицами мадам- и Буги медленно отступали к дверям.

- Опять это ты, дьяволенок, русский гаденыш,- шипел Буги.

- А это ты, моя доченька, ты, мое сокровище,- проговорила мадам, гипнотизируя Наташу огромными страшными глазами.- Ты тоже с ним заодно... Ну так получай же! - Она вдруг дико вскрикнула, закинула правую руку за спину и резко выбросила ее вперед.

В воздухе просвистел аргентинский пружинный нож. Геннадий едва успел вскинуть руку перед Наташиным лицом. Нож пробил ему ладонь.

Буги бросился вперед, как бешеный зверь, но, наткнувшись на пулю, упал лицом вперед Мадам скользнула в коридор.

Тяжелая бронированная дверь захлопнулась за ней.

- Гена, Геночка...- плакала Наташа, пытаясь вытащить нож из ладони мальчика. Вскоре ей это удалось. Хлынула кровь.

- Разорви мою рубашку и затампонируй рану,- сказал Геннадий.- Сейчас главное - придумать, как выбраться отсюда...

- Сейчас нам всем будет конец,- вдруг прохрипел Буги.

- А вы еще живы, император? - усмехнулся Геннадий.- Почему же нам всем конец?

- Сейчас увидишь,- странным тоном сказал Буги и приподнялся на локтях.

Он смотрел прямо на стеклянную стену, отделяющую зал от дна океана.

Минуту спустя стена стала медленно подниматься.

Вода хлынула в зал и сразу поднялась до колен. Буги жутко захохотал:

- У этой бабы все здесь предусмотрено. Так что, Джин, пиши пропало... Глубина семьдесят пять метров... Ты меня победил, но и сам пойдешь акулам в зубы. Встретимся в аду, разберемся. Или ты рассчитываешь попасть в рай?

Вода, бурно клокоча, вливалась в зал. Вот она уже поднялась до груди.

- Никакого ада и рая нет! - крикнул Геннадий.- Все это бредни!

Раскинув руки и ноги, Ричард Буги лежал в воде на спине и продолжал дико хохотать.

- Нету - и не надо! Нету - и тем лучше! Ясно было, что он окончательно спятил.

- Кажется, мы погибаем, Наташа,- шепнул Геннадий.

- Кажется, да, - ответила девочка. Геннадии был поражен ее спокойствием Наташа только закусила губы, чтобы не закричать от ужаса.

- Плыви за мной! - отчаянно крикнул Геннадий и поднырнул под стеклянную стену.

Они успели проплыть через заросли кораллов. Теперь под ними была бездонная черная бездна, а наверху, очень высоко, безнадежно высоко, разливалось солнечное сияние.

Геннадий обернулся и увидел стройную фигурку девочки, отчаянно рвущуюся вверх.

- Ооооуууииииееееау! ~ позвал Геннадий, и все закружилось перед ним в немыслимом последнем хороводе

Страшная тяжесть со всех сторон сдавила тело. Последнее, что он увидел, было раздутое пунцовое чудовище с огромными трагическими глазами, поднимающееся из глубины.

"Рыба намадзу, - вспомнил мальчик.- Она предвещает землетрясение..."

После этого он потерял сознание.

Доктор геологических наук Вертопрахов сиял от редкого счастья, выпавшего на его долю. Он стоял, обняв за плечи левой рукой дочь свою Наташу, а правой - ее зеркальную копию Доллис. Многочисленные корреспонденты эмпирейских газет окружали красивую троицу, красивую потому, что ученый тоже не был лишен своеобразной мужской красоты.

- Да, господа, Доллис - моя дочь и ее настоящее имя Даша, то есть Дарья. Даша и Наташа - близнецы, родившиеся в Ленинграде с интервалом в четыре минуты. Неопровержимым доказательством являются своеобразные родинки, похожие на маленьких бабочек, расположенные у Даши под правым, а у Наташи

под левым ухом. В этом легко убедиться, откинув соответствующие пряди.

Девочки охотно откинули соответствующие пряди и показали изумленным корреспондентам совершенно одинаковые родинки.

- Типичные однояйцевые близнецы,- прошептал биолог Верестищев.

- А дело было так,- продолжал Вертопрахов,- В середине пятидесятых годов мы с моей женой, крупным теоретиком и практиком, возглавили геологическую экспедицию в дружественной нейтральной Бирме. Мы объяснялись с инженерами-бирманцами по-французски, и поэтому местное население принимало нас за французов. Наши малютки были с нами, и, представьте себе, господа, тропики ничуть не вредили их развитию. Целыми днями крошки играли среди бурной бирманской растительности, забавляясь с мангустами, желтопузиками, шакалятами.

Однажды из джунглей выскочил бешеный слон с несколькими безумцами на спине. Злоумышленники пытались разрушить наш лагерь, но получили достойный отпор и скрылись...

Увы, вместе с ними исчезла в джунглях одна из наших дочек... Пропала Даша...- сказал он неуверенно и, помолчав, добавил: - А может быть, Наташа...- Он смущенно хихикнул.

- Как, папка? - воскликнула изумленная Наташа.- Значит, может быть, это я пропала?

- А я, может быть, осталась?-вскричала Доллис-Даша.

- Да-да, вполне возможно...- пробормотал ученый муж.

- А как же родинки? - спросил один из журналистов.

- Дело в том, что мы с женой все время путали, у кого из дочерей под каким ухом...- Вертопрахов мучительно покраснел.- Геология, господа, в то время поглощала все наши мысли. Сейчас, конечно, другое дело... Наташенька, Дашенька, доченьки мои! Мама будет очень удивлена, увидев вас вместе.

- Вы не будете обижаться, если я опишу этот любопытный случай в новой поэме? - спросил огромный поэт Го-рошкин.

- Будьте любезны, опишите. Буду вам даже признателен, если опишете.

"Внимание! - сказало радио.- Объявляется посадка на самолет компании "Кассиопея", выполняющий рейс Оук порт - Зурбаган".

Да, дорогой читатель, интервью это происходило на аэродроме. Дряхленький "Дуглас-Дакота" уже гостеприимно распахнул перед пассажирами свою ненадежную дверь. Значительная группа наших героев должна была улететь на нем в Зурбаган, чтобы там пересесть на, какой-нибудь реактивный лайнер.

Читатель, конечно, уже догадался, что Геннадий и Наташа были спасены глубоководной полумифической рыбой на-мадзу. Именно она - случайно или сознательно - вынесла два тела на поверхность, где они были подхвачены верным и неутомимым Чаби Чаккерсом.

Сейчас пришла пора прощаться. Весь Оук-порт собрался на аэродроме, чтобы проводить на родину своего нового героя Джина де Эдуардас Страттофудо, его бабушку Марию и других членов общества "Альбатрос".

- Ну, Геннадий,- говорили, заключив мальчика в объятия, президент Токтомуран Джечкин, сенатор Нуфнути Куче и лучший легопер вселенной Рикко Силла.- Мы не говорим тебе "прощай", мы говорим "до свидания". Ты и твои товарищи многому нас научили. Мы теперь не будем так простодушны, мы будем бдительны, мы будем отстаивать свою независимость.

- Друзья мои, держите порох сухим,- посоветовал на прощание мальчик, с трудом сдерживая слезы.

- До скорой встречи в Питере, Гена,- сказал капитан Рикошетников.- Мы еще с вами поплаваем, дружище.

"Алеша Попович" после бандитского нападения должен был стать на малый ремонт в Оук-порте, и поэтому Геннадий был вынужден избрать воздушный путь, чтобы не опоздать к началу учебного года

- Если бы не учеба, Николай, вы понимаете, я бы никогда...- пробормотал Геннадий, опять же пытаясь сдержать слезы.- Шесть футов под килем, Николай!

- На "Поповиче" будет пусто без вас, Геннадий,- про-басил Шлиер-Довейко,- Скорее кончайте образование, будь оно неладно, и идите к нам.

- Привет городу-герою и вашей пионерской организации,- дрогнувшим голосом сказал Хрящиков.

- Пока, Генок,- шлепнул его по спине ладошкой Володя Телескопов.- В гости приеду, не выгонишь?

- Геннадий, помните, ваша будущность в науке,- сказал гидробиолог Верестищев,- а гидробиология - это наука будущего.

- Поцелуйте моего Чаби,- шепнул ему Геннадий.

И вот старенькая "Дакота", отчаянно тарахтя, поднялась в закатное небо и взялась описывать прощальный круг над Оук-портом.

Припав к окну, Геннадий, уже не скрывая слез, смотрел на черепичные крыши, на блестящие мраморные мостовые, на многочисленные памятники, среди которых выделялся памятник его предку, на прозрачные до самого дна бухты воды, на "Алешу Поповича", на все, что стало ему таким близким и родным.

Самолет начал набирать высоту, и в поле зрения всплыл эмпирейский вулкан, над которым теперь, после взрыва (к счастью, только одного), как в былые незапамятные времена, колыхался султан розового дыма.

Самолет лег на курс... Показались мрачные базальтовые отвесы острова Карбункл.

- Смотрите! - вдруг в ужасе закричала Доллис-Даша,- Смотрите, это она!

Со стороны острова Карбункл к "Дакоте" стремительно приближался остроносый реактивный истребитель.

- Она вылетела прямо из той скалы! - крикнула Дол-лис.- Это мадам, она сейчас будет стрелять!

Накамура-Бранчевска не торопилась сбивать беззащитную "Дакоту". Некоторое время она летела вровень с ней в опасной близости, так что было даже видно ее бледное лицо и мстительно улыбающиеся пунцовые губы. Потом истребитель свечкой ушел в зенит.

"Сейчас будет заходить на атаку",- догадалась Мария Спиридоновна. Она вскочила и бросилась в пилотскую рубку. Оттолкнув растерявшегося парнишку-пилота, бабушка села к штурвалу.

Первая очередь из крупнокалиберного пулемета пробила фюзеляж и крылья, но не причинила никому вреда

Бабушка резко бросила самолет вниз и пошла над самой водой, то и дело меняя курс.

Был, был у бабушки некоторый опыт в таких делах. Не раз ей приходилось во время войны с растраченным боезапасом увиливать от "мессершмиттов".

Теряя голову от сатанинской ненависти, бросилась Накамура-Бранчевска в атаку на ползущий над гребешками волн неуловимый тихоход. Вторая атака... третья... "Дуглас" вдруг, резко задрав нос, устремился вверх.

Самолет Накамура-Бранчевской врезался в воду и сразу исчез так, как будто его и не было... не было никогда... Пузыри земли... о пузыри земли, как сказал великий Шекспир.

ЭПИЛОГ

Солнце уже встало над скалой Хамелеон, когда Геннадий и бабушка кончили свой рассказ. Мы спустились с террасы и пошли к морю. Бабушка тут же бросилась в воду, а мы с Геннадием сели на еще холодную гальку.

- Геннадий,- сказал я,- в классических приключенческих романах полагается в эпилогах рассказывать о судьбе героев.

- Ну что ж,- проговорил мальчик,- давайте не будем отступать от традиции. "Алеша Попович" сейчас в Атлантике. Исследует Марракотову бездну. Там все в порядке. Правда, один член экипажа оставил море, остепенился и живет теперь в нашей квартире на улице Рубинштейна. Я думаю, вы догадываетесь, что это Пуша Шуткин.

Доллис и Наташа прекрасно поладили друг с другом, хотя до сих пор не могут разобраться, кого из них унес бешеный слон, а кто остался с

родителями. Мы часто навещаем сестер с моим товарищем Валентином Брюквиным. Ну вот, пожалуй, и все. Да, генеральный консул Старжен Фиц оставил дипломатическое поприще и устроился шеф-поваром в "Луч" - столовую ресторанного типа.

Геннадий замолчал. Сощурившись, он смотрел в слепящий блеск моря. Там выпрыгнула из воды стайка дельфинов, один большой, второй поменьше и четверо совсем маленьких. Еще несколько лет назад дельфинов в Черном море нельзя было увидеть. После запрещения охоты, они стали возвращаться к нашим берегам.

- А почему вы ничего не говорите об эмпирейцах, Геннадий? О сенаторах и легоперах?

Брови мальчика сошлись на переносице.

- Сведения, поступающие оттуда, очень противоречивы .

Я вспомнил, как он глядел вчера вечером в море, и осторожно спросил:

- Вас тянет туда, Гена? Да?

Он быстро взглянул на меня, в глазах его вспыхнули далекие маячки, потом он снова повернулся к морю.

- Видите ли, Василий Павлович, мне кажется, что там снова неспокойно. Хищники так просто не откажутся от такого лакомого кусочка. Мне кажется, что над архипелагом снова собираются тучи. Конечно, эмпирейцы уже не те, но мне все-таки страшно за них...

Он положил подбородок на колени и снова уставился в море. Некоторое время мы молчали. Я все еще не мог прийти в себя от всего услышанного за ночь. Со смешанным чувством уважения, восхищения и даже некоторой робости я смотрел на этого внешне такого обычного мальчика. Он был печален.

- Да! - воскликнул я.- А что же случилось с Чаби Чаккерсом?

- Чаби? - Лицо Геннадия осветилось широкой улыбкой.- Чаби женился. У него теперь большая семья. Собирается сюда, в Коктебельскую бухту, повидать меня.

- Не они ли это там прыгают? - спросил я.

- Вполне возможно,- ответил Геннадий, вскочил и закричал: - Чаби! Чаби!

Ооооиииееееу!

1969

Февраль - июнь

Карагалинка - Ялта - Нида

Артур Гиваргизов

Справочный материал

Российский детский писатель и поэт, член Союза писателей России

БИОГРАФИЯ

С 1968 года живет в Москве, закончил Музыкальное училище при Московской консерватории, преподаватель в музыкальной школе. Первая публикация в 1998 году в журнале Сатирикон. Первая книга — «Со шкафом на велосипеде» — вышла в свет в 2003 году. Автор пишет прозу, стихи, пьесы и сказки для детей публиковался в журналах: «Сатирикон», «Куча-мала», «Магазин», «Миша», «Ералаш», «Мурзилка», «Кукумбер», «Колобок и Два жирафа», «Вовочка», «Тошка», «Простоквашино», «Костер», «Фонтан» и в газетах: «Семья» (в приложении «Маленькая тележка»), «Жили-были», «Независимой газете» (в приложении «Ex libris»). Произведения А. Гиваргизова входят в серию для детей - «Город мастеров», в сборники: «Маме дорогой», «Большой подарок Почемучке». Вошёл в сборник «Классики» (Лучшие рассказы современных детских писателей) М., Детская литература, Эгмонт (2002 г.), «Классики» (стихи) М., Детская литература, Эгмонт (2003 г.).

АВТОРСКИЕ КНИГИ И СБОРНИКИ

«Со шкафом на велосипеде» (М., «Эгмонт Россия Лтд.», 2003).

«Мой бедный Шарик» (М., «Дом детской книги», 2002).

«Про Драконов и Милиционеров» (М., Эгмонт, 2006).

«Хитрый Зубов» (М. Дрофа, 2006).

«Контрольный диктант и Древнегреческая трагедия» (М. Самокат, 2009).

«Мы так похожи: Поэтический сборник для семейного чтения» (М. Самокат, 2008).

«Записки выдающегося двоечника» (М., «Эгмонт Россия Лтд.», 2005).

«Непослушный пират» (М. Эгмонт, 2009).

«Экзамен на барабанщика» (М. Время, 2010).

«Тры-тры-тры», мы — автобус и другие (М. Время,2006).

«Энциклопедия с бабочкой и барабаном» (М. Эгмонт, 2010).

«В честь короля» (М. Время, 2011).

«Как со взрослыми» (М. Время, 2011).

«Про королей и вообще» (М., Гаятри, 2005).

НАГРАДЫ

лауреат конкурсов «Детское читательское жюри», «Заветная мечта» и премии имени С. Маршака.

Победитель конкурса «Алые паруса» (2003, 2006)

Приз журналистов «Медиа-фаворит» в рамках ежегодного национального конкурса «Книги года — 2005»,

Диплом Дома детской книги «Синяя птица»,

Из книги "Про королей и вообще"

Глупый разбойник

Ехал с ярмарки крестьянин. Вдруг из леса выходит на дорогу разбойник и спрашивает:
- У тебя есть деньги?
- Нет, - говорит крестьянин.
- Но ведь, если телега пустая, значит, ты всё продал?
- А я на ярмарке ничего не продавал, я телегу с лошадью купил (а у самого в телеге под сеном спрятано тридцать пять золотых монет).
- Ну тогда проезжай, - поверил разбойник. - Мне телега не нужна.
Едет крестьянин и думает: "Какой глупый разбойник".
Едет другой крестьянин.
- Стой! - выскочил разбойник.
- А меня уже ограбили, - говорит крестьянин (а у самого в правом кармане лежат двадцать золотых монет). - В овраге.
- Ну тогда проезжай, - поверил разбойник.
Этот крестьянин тоже подумал: "Вот глупый, я бы на его месте ни за что не поверил".
Едет по дороге купец.
- Сто! Двести! Триста! Четыреста! - Считает золотые монеты.
- Наконец-то мне повезло! - обрадовался разбойник. - Я разбойник!
Он повернулся боком, чтобы купец заметил турецкую саблю.
- И я разбойник, - говорит купец. - Неужели у своего будешь деньги отнимать?
- Ты из оврага что ли?
- Из оврага, - обманул купец.
Разбойник и купца отпустил.
(На самом деле купец был не из оврага. Просто он сразу понял, что надо сказать "из оврага".)
Так за целый день глупый разбойник никого и не ограбил.
Мораль: Никогда не надо верить крестьянам и купцам. У них всегда надо проверять карманы. Если телега, то надо смотреть под сеном. И часто в шапку деньги зашивают.

Обмен

"Меняю северное королевство с непроходимым лесом, тремя озёрами и болотом на южное - с морем. Филипп Хитрый".
Король Филипп давно мечтал перебраться на юг и вот решился.
"Правда, кто согласиться поменять море на болото? - думал король. Неужели найдётся такой чудак?"
Через две недели к Филиппу прискакал гонец от короля Барадаха.
- Воше величество! - воскликнул гонец.
- Ну. Только не "Воше", а Ваше.
- Мой король прочитал обьявление и согласен меняться.
- А у него с морем? - не поверил Филипп.
- С морем! Дворец прямо на пляже!
- Эх, что-то мне жалко стало расставаться с болотом, - притворно сказал король.
Он боялся, что Барадах потребует большой доплаты. А денег у Филиппа не было.
Но гонецй как будто прочитал мысли короля и успокоил:
- Без всякой доплаты.
Поменялись.
Живёт Филипп в новом дворце и не может нарадоваться. Встаёт в пять часов утра, делает зарядку, купается, загорает. Стал думать"Может мне отправить свою старую жену в монастырь и жениться на другой, а?"
И женился бы, если бы эти мысли не прервали какие-то непрятные люди.
- А где Барадах? - спросили неприятные люди.
- Он теперь на севере, мы поменялись - приветливо ответил Филипп. - Я вам обьясню, как проехать.
- Не надо обьяснять. Раз поменялись, значит, ты теперь дань и плати, за прошлый месяц и за этот.
- Какую дань! - растерялся Филипп. - Мне никто ничего не говорил! Вы кто?!
- Мы печенеги, - ответили люди. Не заплатишь - мы сейчас всё наше войско позовём.
А денег у Филиппа вообще не было, как было сказано выше. Стал он тянуть время и срочно написал обьявление:
"Меняю южное королевство на северное".
И поменялся вообще за полярный круг. Вот так.
Вывод: если меняют хорошее королевство на плохое, значит, там печенеги.

Первый революционер

Старому королю Эдуару надоела его старая жена, и он отправил её в монастырь. А сам решил жениться на какой-нибудь молодой красавице.
- Пусть будет не принцйесса, - говорил себе Эдуар. - Лишь бы помоложе и красавица.
И выбрал дочь гончара.
- Только у неё характер, как у мальчишки, предупредил гончар. - Целый день бегает с мячиком.
- Ладно, - согласился король. - Мне тоже иногда хочется побегать с мальчишками, так сказать.
Стала Инка королевой. Три дня посидела на троне спокойно, а потом стала бегать по дворцу.
- Инна! - кричал король. - Вы теперь королева! Тут вам не поле. Вы своим мячиком разобьёте китайскую ва...
"Дзынь!" - разбивалась ваза.
- Видишь? - говорил король.
И так каждый день. То ваза, то окно.
Во дворце уже ни одного целого окна не осталось.
"Зима скоро, - беспокоился Эдуар. Как мы в зиму с разбитыми стёклами?"
А старая жена в монастыре радовалась: "Так тебе и надо, старый дурак. Скорее бы зима".
Зря она радовалась. До зимы случилась революция, и у короля всё равно дворец отобрали.

А за то, что он женился на дочери гончара, его не убили. Всех убили, а короля нет.
Гончар залез на бочку и сказал народу:
- Наш король - первый революционер! Он выгнал королеву и женился на дочери бедного гончара. А посмотрите не его дворец! У меня дома лучше в сто раз!
И короля не убили. Даже поставили ему памятник при жизни.
Вывод: надо жениться на молодых красавицах.

Из книги " Записки выдающегося двоечника"

Педсовет

Однажды учителя пригласили выдающегося двоечника, трижды ученика 4 класса "Б" Гаврилова Серёжу выступить на педсовете с докладом: "Почему дети не хотят учиться и не делают уроки".
- В Поднебесной нет ничего, что можно было бы сравнить с пользой от НЕДЕЯНИЯ. В этом закон небесного ДАО, - начал Серёжа. - Когда будет уничтожена учёность, тогда не будет и печали, - сказал Серёжа и глубоко вздохнул.
- А физика?! - закричала с места учительница по физике. - Без физики ты бы, Гаврилов, даже не знал, что Земля круглая!
- Какая же она круглая? - удивился Серёжа.
- Как какая! - не выдержала учительница по географии и вынула из сумочки чугунный глобус, который носила с собой, как средство самозащиты. - Вот, как глобус!
- Ну, хорошо, - усмехнулся Серёжа и показал пальцем на океан, - а почему тогда вода не выливается?
- А Земля её притягивает, как магнит! - снова вскочила раскрасневшаясся от волнения учительница по физике.
- Магнит не притягивает воду, сказал Серёжа и устало прикрыл глаза, - я это знал ещё в детском саду.
- Что же, по-вашему, Сергей Сергеевич, - вежливо обратился к Серёже директор школы, - учёные ошиблись, и все жертвы были напрасны?
- Эррарэ хуманум эст - ошибаться - человеческое свойство. Цицерон, - сказал Серёжа и развёл руками. - Я вас понимаю, и, поверьте, мне очень жаль.
- Как, как? - переспросил учитель по истории. - Повторите ещё, я не успел записать. Эррарэ хуманум кто?
- Эст, - сказал Серёжа.

Пластическая операция

Серёжа умел притворяться, что спит.
Закроет глаза, а на самом деле всё слышит и даже видит - в щёлочки. Благодаря этому умению он знал, что думают о нём окружающие.
- Красавец, - смело говорила Чеснокова, глядя на спящего Серёжу.
- Жалко, нос торчит, - огорчалась Сереберцева. - Большеват.
Так как Серёже нравилась Сереберцева, а не Чеснокова, он решил сделать пластическую операцию - уменьшить нос.
Пришёл Серёжа к хирургу, всё обьяснил, а хирург говорит:
- Зачем тебе уменьшать нос? Всё - относительно: если ты увеличишь щёки, нос на фоне больших щёк будет казаться маленьким. Увеличить щёки можно без хирургического вмешательства. Просто надо есть побольше макарон.
Серёжа стал есть очень много макарон и через месяц, действительно, у него увеличились щёки, и нос перестал казаться большим.
Серёжа пришёл в школу, лёг на парту и сделал вид, что спит.
- Что-то Гаврилов сильно растолстел, - сказала Чеснокова, - щёки, как подушки.
- Ты ничего не понимаешь в мужской красоте, - сказала Сереберцева, - теперь у него всё

гармонично.
И после этого подслушанного разговора Серёжа смело пригласил Сереберцеву в кино.
- Ах, - сказала Сереберцева, - ты читаешь мои мысли.
"НЕ читаю, а подслушиваю", - усмехнулся про себя Серёжа.

Три копейки

Однажды Коля нашёл старинные три копейки - 1975 года.
Раньше на эти деньги можнобыло выпить отличной газировки с сиропом, - вздохнул дедушка.- Эхе-хе-хе-хе-е-е-е-е.
- Подумаешь, - усмехнулся Коля, - сейчас...
- Бывало, подойдёшь к автомату, - мечтательно продолжал дедушка, - опустишь в щёлочку монетку и ждёшь. Ждёшь, ждёшь, ждёшь...
- А чего ждёшь? - спросил Коля.
- Ждёшь, ждёшь, ждёшь, - мечтательно продолжал дедушка и вдруг замолчал.
Коля посмотрел на дедушку - дедушка спалэ На его лице была улыбка.
- Дедушка! Дедушка! А чего ждёшь?! Что дальше то?!
- А?! - очнулся дедушка. - Так вот: ждёшь, ждёшь, ждёшь, а вода не льётся. Тогда размахиваешься и кулаком в то место, где написано: "Вода с сиропом", - и она льётся. Вкусная была вода, сейчас такой воды нет.
- Здорово! - сказал Коля. - Кулаком!
- Да, можно было и с разбега, - кивнул головой дедушка. - Это что, раньше и телевизоры были лучше - надо было кулаком бить.
- Здорово! - сказал Коля.
Да уж, - вздохнул дедушка.

Девятый вал

У Коли заболел дедушка. Ни температуры, ни кашля, ни насморка у него не было. Дедушка просто грусный лежал на диване и говорил, что ему ничего не интересно.
- Не шуми и не приставай к дедушке с вопросами, - говорила Коле мама.
Но однажды, когда родителей дома не было, Коля не выдержал и задал дедушке вопрос:
- Дедушка, а что такое девятый вал?
- Девятый вал?! - оживился дедушка и приподнялся на локте. - Девятый вал?! - ещё больше оживился дедушка и резко сорвал с себя пуховое одеяло. - Девятый вал - это когда волна, как гора или как башня! - воскликнул дедушка, вскочил с дивана и начал быстро ходить по комнате, размахивая руками.
- Здорово! - восхитился Коля.
- Сейчас я тебе покажу, - сказал дедушка. - У тебя есть воображение? Ты ведь можешь представить себя муравьём?
- Конечно, - сказал Коля. - Представил.
- Вот и отлично.
Дедушка наполнил ванну, пустил в неё бумажный кораблик, закатал повыше рукава и начал раскачивать руками воду.
- Раз, - считал дедушка, - два, три, четыре...
Волны становились всё выше и выше, и вода уже немножко выплёскивалась на пол.
- У-у-у-у-у-у-у, - завыл, как ветер, дедушка, - пя-я-я-ять, ше-е-е-есть, у-у-у-у, се-е-емь, во-о-осемь!
Вода уже так сильно выплёскивалась, что у дедушки и Коли промокли ноги.
- Эге-ге-ге-ге-е-е-ей! - кричал дедушка. - Руби мачту! У-у-у-у-у! Восемь с половиной, девять!
На счёте "девять" поднялась такая большая волна, что у дедушки и Коли промокли брюки, рубашки и майки.
- Вот это и есть девятый вал, - сказал довольный дедушка. - Страшно было?
- Нет, - сказал Коля.
- Так ты что, не представил себя муравьём, сидящим в кораблике? - спросил дедушка.

- Ты не говорил, что в кораблике, - ответил Коля. - Ты сказал, просто муравьём. Вот я и прредставил, что я сижу на потолке. А там было не страшно.
- Тогда ты ничего не почувствовал, - огорчился дедушка. - Ну ладно, повторим ещё раз.
Дедушка переоделся в сухую одежду и открыл кран.

Из блокнота

* * *

Покупка: 30,90
Продажа: 31,10
(Из таблички на обменном пункте)

Однажды Колины родители поспорили на пятьдесят долларов: перепрыгнет Коля двухметровый забор с колючей проволокой или нет. Папа говорил - перепрыгнет, а мама - не перепрыгнет. Тогда они позвали Колю и сказали:
- Видишь вот этот двухметровый забор? А ну-ка, попробуй через него перепрыгнуть.
- Только будь осторожен, - сказала мама и стряхнула с Колиного плеча яичную скорлупу, - проволока под током.
- Что я, псих что ли, - сказал Коля и ушёл делать уроки.
- Это ты его так воспитала! - стал кричать Колин папа на Колину маму.
- Нет, это ты его так воспитал! - кричала в ответ мама.
- Нет это ты его так воспитала! - кричал папа.
- Нет, это ты его так воспитал! - кричала мама.

* * *

Если картошка оранжевая и пахнет апельсинами,
значит, это плохая картошка. Что-то с ней не то.
Может быть, это вообще не картошка.
(Из книги "О вкусной и здоровой пище")

Однажды Колю отправили на рынок за картошкой.
Пришёл он на рынок и сразу заметил, что картошка оранжевая и пахнет апельсинами.
"Лучше уж на эти деньги купить жевательную резинку, - подумал Коля, - она всегда высокого качества". Подумал и подошёл к ларьку покупать жевательную резинку.
Вдруг, вместо слова "жвачка" у него вылетело слово "сигара". Попробовал Коля первый раз в жизни настоящую кубинскую сигару и аж замычал от удовольствия:
- М-м-м-м-м-м-м! Какая сигара!
- Ой, извините, - сказала продавщица, я вам случайно вместо сигары дала сардельку - они так похожи.
Коля выпустил дым, стряхнул пепел и улыбнулся - ему было приятно, что продавщица называет его на "вы", как большого.
- Ничего страшного, девушка, - сказал он.

Непослушный ребёнок

Дракон объяснял пятнадцатый раз

(никогда не кричал на ребёнка):

если видишь, написано «газ»,

«бензин» — то это колонка

для заправки автомашин.

А ты выдыхаешь пламя!

На этих колонках вообще не дыши!

Понял? Махни головами.

Сын дракона заёрзал на стуле —

не ёрзай, сломаешь стул! —

и кивнул двумя головами.

Но одной головой не кивнул.

Форма. Дети.

Мы — генералы — не любим кричать:

Мы генералы, а дети не служат!!!

Мы так похожи; мы любим играть

В прятки, в солдатиков, бегать по лужам...

Любим сгущёнку, хрустящие чипсы

И отличаемся от малыша

Только лишь формой:

Малыш носит джинсы,

А

генералы

носят

ПШ.

Кошка генерала

Кошка генерала

Бегает по крыше,

И другие кошки

Отдают ей честь.

У кошки генерала

Тоже есть сапожки,

По бокам полоски

Красненькие есть.

У неё и ушки,

Вроде как петлички.

С золотым отливом

На лопатках шерсть.

Кошку генерала

Обзывают птички

(От зависти, конечно):

«Чучело идёт!».

Генерал без фуражки

Бейсболку надевает генерал

на даче — от фуражки отдохнуть.

«Эй, дядя, шапку надо повернуть!» —

какой–то мальчик маленький сказал.

«Да я на службе сделался седым!

И знаю — козырёк всегда, где нос!» —

ответил, а точнее — произнёс,

гуляя по клубнике строевым,

генерал.

Посвящается первому летающему КАМАЗу

Забор, ворота, «Главмосстрой»,

КАМАЗ без кирпичей.

Серёжа взял его домой,

подумал, что ничей.

Потом (примерно через час)

водитель свой КАМАЗ

всё бегал, звал: «КАМАЗ! КАМАЗ!

КАМАЗ! КАМАЗ! КАМАЗ!»

А дома не асфальт — паркет,

не фонари — торшер.

И тишина — стеклопакет.

И — милиционер.

Вернее — кондиционер.

Из кубиков гараж.

И из окна красивый вид,

шестнадцатый этаж.

И как–то раз, наполнив бак

(бак у него живот),

сказал задумчиво КАМАЗ:

«А я ведь вертолёт».

И прыгнул из окна — куда!!! —

нажав себе на газ.

Чирикнул, сел на провода

летающий КАМАЗ.

Мемориальная доска

Мемориальная доска

висит на школе:

«Здесь — тоска!»

Олег Кургузов

Справочный материал

Олег Флавьевич Кургузов (17 декабря 1959 года – 10 марта 2004 года) – российский детский писатель, журналист, редактор (псевдонимы: Олег Оленча, Гело Возугрук).

В 2004 году журнал «Простокваша», издающийся в Волгограде, посвятил весь четвертый номер московскому писателю Олегу Флавьевичу Кургузову. Почти в самом конце его помещены 13 вопросов писателю. Один из них: «Какая должна быть погода, чтобы написать хорошую книжку?». Ответ был простой и гениальный, поистине пушкинский: «Осенний дождь. Без ветра». Все, кто знал Олега Кургузова, определяют его как человека и писателя солнечного. В его книгах много тепла и света. Но много и мягкой свежести, задумчивости и грусти осеннего дождя… Правда, это стало очевидным только после столь раннего ухода писателя из жизни.

Олегу Кургузову было всего 44 года, когда он стал «точкой в голубой дали».

В последней своей прижизненной книге «Наш кот — инопланетянин», которая выщла в самом конце 2003 года, писатель устами своего героя, Маленького Мальчика, озвучил самый главный закон, на котором построен мир:

„Мама любит папу, папа любит меня, я люблю маму. Вот и получается КРУГОВОРОТ ЛЮБВИ В СЕМЬЕ“.

Как он радовался появлению этой книги! Особенно тому, что на задней стороне обложки была его фотография с сыном Пашей.

Маленький мальчик, герой почти всех произведений Кургузова. Дружная — семья главная тема его творчества. И любовь. Семья для Кургузова не только тема, но и главный смысл жизни. Отправная точка и стремление.

Олег Флавьевич Кургузов родился 17 декабря 1959 года в деревне Угрюмово Домодедовского района Московской области. До поступления в МГУ поработал лаборантом в средней школе, а во

время учебы на факультете журналистики подрабатывал в Московском тресте зеленых насаждений — помогал столице цвести. После окончания МГУ в 1983 году стал работать по специальности: в газете «Труд», в журнале «Журналист». Он много ездил по стране, печатался в «Литературной газете», «Московской правде», «Литературной России» и других периодических изданиях. С 1987 по 1989 год работал в Правлении Союза журналистов СССР.

Кургузов был журналистом от Бога, он знал и чувствовал, как надо делать хорошую газету или хороший журнал, как подбирать авторов и с ними, сложными, общаться, он был блестящим редактором и ценителем действительно талантливого, оригинального, свежего. У него был «нюх на художественность», подделки и халтуру он определял сразу. Не случайно именно он вместе с Тимом Собакиным в 1989 году «поставил на рельсы» легендарный журнал «Трамвай»— лучший детский журнал того времени: смелый, острый, авангардный, представивший читателям россыпь замечательных писателей и художников и, что еще более важно, новую манеру общения с читателями — свободную и нестандартную. Это был журнал, сломавший прежние каноны, разрушивший стену между взрослыми и детьми. Позже появился вместо него другое издание — «Куча мала». И вновь его редактором стал Олег Кургузов. И вновь это оказался самый интересный детский журнал. Потом был еще журнал «Улица Сезам» — не самый легкий отрезок дороги для его редактора. А позже Олег Кургузов работал в «Веселых картинках». Первая публикация Олега Кургузова — три рассказа из цикла «Рассказы маленького мальчика» на полосе «Сатира и юмор» в газете «Московский комсомолец» — состоялась в 1985 году благодаря Льву Новоженову. Молодого автора стали печатать в разных периодических изданиях — например, в таком солидном, как «Мурзилка». Так что как веселый писатель Олег Кургузов заявил о себе сразу. И почти сразу освоил он ту часть детской литературы, которая называется познавательной. В 1995 году вышла толстая и очень забавная книга «По следам Почемучки» — веселые объяснения самых разных явлений природы так же образны и понятны, как и у прародителя жанра Бориса Житкова, а в 1996 году книжечка «Про каплю Акву» — все о воде, вокруг воды, в общем, вечная слава воде.

И, наконец в 1997 году случилось чудо — в издательстве «Белый город» в составленной Львом Яковлевым серии «Веселые истории веселых писателей» вышла книга Олега Кургузова «Солнце на потолке». С подзаголовком: «Рассказы маленького мальчика». Через год за эту книгу Олег Кургузов получил очень престижную Международную премию имени Януша Корчака. Немногие наши писатели удостоились столь высокой оценки солидного жюри, а Кургузова разглядели среди тридцати семи претендентов и воздали должное.

Долгое время, с 1991 года, был редактором созданной им детской газеты «Маленькая тележка» в рамках газеты «Семья». Он умудрялся делать множество разных вещей — в последний год жизни даже принимал активное участие в каком-то громком проекте Президента России, имеющем отношение к детской литературе… Но 10 марта 2004 года сердце не выдержало стремительной жизненной гонки.

Олег Кургузов был большим писателем, гениальным. Но имя его мало кому известно. В нем не было того, что сам Олег называл „пуффом“ — стремления к саморекламе, к публичности. Зато все его произведения наполнены невероятным, небывалым теплом и светом».

Олег Кургузов достиг вершины. Его произведения составляют теперь славу детской литературы.

В одном из своих рассказов Олег писал, что люди, покинувшие этот мир становятся маленькими точками в голубой дали. Писателя больше нет с нами, но его «маленькая точка в голубой дали» светит каждому…

Олег Кургузов умер 10 марта 2004 года в Москве.

В 2009 году, к 50-летию писателя, именем Олега Кургузова была названа библиотека на его малой родине – в поселке Столбовая Московской области.

Рассказы маленького мальчика

Борщ по-флотски

В одном конце нашего двора лежит толстое бревно. А в другом – длинная доска. Если положить доску на бревно, получатся качели. Мы с папой так и качались. Он вниз – я вверх. Я вниз – он вверх. Он в воздухе, я на земле. Он на земле, я в воздухе.

– Э-ге-ге, – говорит папа. – Надоело каждый раз на землю возвращаться. Давай полетаем?

– Только потом давай обратно на землю вернёмся, – говорю я.

– А куда ж мы денемся? – говорит папа. – Мама нас к обеду ждёт.

Он прыгает на свой конец доски и подбрасывает меня в воздух. Я взлетаю под облака и тихонечко руками машу, чтоб на месте удержаться. Папу дожидаюсь.

Тут подлетает ко мне папа. Он сообразил попросить какого-то дяденьку, чтобы тот его подбросил.

– Ой! – говорит папа грустно. – А парашюты мы и забыли…

– Это пустяки, – говорю я. – Представим себя снежинками и медленно опустимся на землю.

– Ничего себе – снежиночка! Во мне 80 кило, – огорчается папа.

Но огорчается он недолго. Ведь вокруг такая красота! Солнце на снег светит. Снег блестит и отражает свет обратно на небо. Даже непонятно становится, где земля, а где небо. Всё вокруг голубое! И мы с папой в чёрных пальто летим сквозь эту голубизну.

А папа говорит:

– Жаль, я свой пёстрый шарф дома забыл. Можно было бы им помахать, народ внизу поприветствовать.

И стали мы с папой мечтать, будто мы – вверху, а народ – внизу. Мы шарфом пёстрым машем, а народ радуется, в затылке чешет и кричит: «Во дают!..»

Только размечтались, а с земли вдруг голос из рупора раздаётся:

– Первый-первый, я второй! Ну-ка, заходите с планёром на посадку!

Оказывается, мы пролетали над аэродромом. Аэродромщики не привыкли, что люди сами по себе летают, и приняли нас за самолеты.

– Нет, – говорит папа, – не будем садиться на их аэродром. Они нам сразу номера прилепят, придётся летать под номерами.

– Да, – соглашаюсь я. – Под номерами совсем не то. Скучно под номерами летать.

– Второй, второй! – кричит папа вниз. – Посадку произвести не могу. Шасси не выпускаются. Ухожу на запасной аэродром.

Отлетели мы с папой в сторону. И тут нам навстречу – стая ворон. И эти тоже не привыкли, что люди сами по себе в небе летают. Ка-а-ак загалдят! Как начали толкаться!

– Ой! – кричит папа. – Я иду колом!

И пошёл колом. Ну, и я вслед за ним тоже колом.

– Осторожно – земля! – кричит папа.

И – бум!!!

– Вижу! – кричу я.

И бац!!!

Хорошо, что я лёгкий. Совсем неглубоко в снег зарылся. А папа тяжёлый, головой в сугробе застрял. Папа возился, пыхтел-кряхтел и, наконец, встал на ноги. Встать-то он встал, а сугроб с головы снять не может.

– Или голову в сугробе оставить, или сугроб домой нести, – размышляет папа.

– Лучше сугроб отнесём домой, – предлагаю я. – Чем ты обед будешь есть, без головы-то?

Пришли мы домой. Папа сразу к горячей батарее прислонился. Чтоб сугроб побыстрей растаял. Ну, сугроб и растаял. Лужа получилась – о-го-го!

– Сейчас придёт мама и устроит нам баню, – говорит папа.

А тут и мама пришла. Посмотрела на лужу и говорит:

– Вы моряки, что ли?

– Вот-вот, – говорим мы с папой. – Моряки мы и есть. Морские души!

– Раз вы моряки, то на обед я сварю вам борщ по-флотски, – сказала мама.

И сварила нам борщ.

Мальчик-папа

Целый час папа воспитывал меня. В который раз он уже повторял:

– В твоём возрасте я был серьёзнее!..

И тут что-то тренькнуло, грохнуло, зашипело и вспыхнуло. Когда дым рассеялся, рядом со мной стоял мальчик в коротких штанишках. Его коленки были исцарапаны, воротник рубашки наполовину оторван, а под левым глазом светился здоровенный синяк.

– Ты кто такой?! – удивился я.

Он зашмыгал носом, а потом сказал:

– Я твой папа. Только… в твоём возрасте.

– Ну и ну! – сказал я. И ещё раз осмотрел его с ног до головы. – А ты в моём возрасте был меньше меня.

– Конечно, – согласился мальчик-папа. – Мы с мамой тебя в спортивную школу устроили. Ты работаешь над своим развитием. А я просто во дворе болтался…

– Зато у тебя синяк отличный! – сказал я с завистью.

– А-а-а…, – махнул он рукой. – Дал тут одному по шея2 м.

– Пойдём погуляем? – предложил я.

– Ура! – закричал мальчик-папа и рванул на улицу.

Когда я вышел из подъезда, он уже сидел на дереве и махал мне оттуда рукой.

– Ты же запрещаешь мне лазать по деревьям, – сказал я.

– Да ла-а-адно, – протянул он. – Главное, чтоб мама нас не застукала.

Я забрался к нему, и мы стали качаться на сучке. Потом сучок обломился, и мы упали вниз. Папа первый, а я второй. Прямо на него.

– А ты тяжёлый, – сказал он, вылезая из-под меня. – Давай поборемся?

И мы стали бороться. Боролись мы совсем недолго. Потому что я папу сразу поборол.

– У меня просто настроения нет бороться, – сказал он грустно.

– Да ла-а-адно, – протянул я. – Не огорчайся. В другой раз ты меня поборешь.

– Ты только маме не рассказывай, – попросил он, – что победил меня.

– Ты тоже не жалуйся, – попросил я. – Ведь я тебе воротник рубашки совсем оторвал.

– Пустяки! – сказал папа и швырнул воротник в мусорную кучу. – Если мы будем держаться друг друга, то в этой жизни не пропадём.

И тут кто-то окликнул нас из подворотни.

– Эй, пацаны! Ну-ка, быстро сюда!

Там стояли двое взрослых, лет по тринадцать, парня. Когда мы подошли к ним, они сказали:

– По двадцать копеек, салаги! Быстро!

Я похлопал себя по карманам и сказал:

– У меня нет денег…

– А ты попрыгай! Может, зазвенит, – приказал, ухмыляясь, один парень.

Тут мой папа нахмурился, пригнул голову и с криком «А-а-а!» ударил этого парня головой в живот. Это был здоровский удар. Я такого от папы не ожидал. Парень тот сразу кубарем покатился.

А я в этот момент на другого набросился. Двинул ему разок!

В общем, они убежали от нас на другую сторону улицы и завопили:

– Ну, салаги, держитесь! Сейчас мы своих парней приведём!

Они не соврали. И привели ещё пятерых парней. Нас стали окружать со всех сторон.

– Держись, сынок! – сказал мне мальчик-папа. – Сейчас нам придётся туго.

Они уже начали нас бить, когда во дворе появилась наша мама. Их тут же как ветром сдуло. Мама едва успела им нашлёпать.

Потом она отвела меня и мальчика-папу к нам домой, помазала царапины йодом и напоила киселём.

Только мама вышла из кухни, а папа говорит:

– Мы с тобой вдвоём, конечно, сила. Ну, а втроём с мамой – вообще о-го-го! Давай держаться втроём?

– А ты не будешь больше говорить, что в моём возрасте был серьёзнее, и воспитывать меня по два часа?

Мальчик-папа посмотрел на свои царапины, синяки, изорванную рубашку, вздохнул и пообещал:

– Не буду!

Мы пожали друг другу руки. Тут опять что-то тренькнуло, грохнуло, зашипело и вспыхнуло. Когда дым рассеялся, передо мной снова стоял взрослый папа.

Солнце на потолке

Люблю греться на солнышке. Сядешь во дворе на скамейку и греешься. Можно ещё в лес пойти или на пляж. Везде – солнце!

Это летом так хорошо. А зимой на пляже не согреешься. И в лесу снега полным-полно. Увязнешь по горлышко и… И привет!

Зимой я греюсь на солнышке дома. Жаль только, что стены мешают солнцу осветить комнату целиком. Вот луч и прорывается сквозь окно, греет комнату по кусочкам. Сначала кресло, потом пол, потом шкаф. И я догоняю солнечный луч, сижу то в кресле, то на полу, то на шкафу.

И вдруг луч ложится на стену. Как же быть?! Ведь так хочется погреться на солнышке…

– Эх!

И я забираюсь на стену!

Там тепло-тепло, даже спать хочется. Я засыпаю и не слышу, как в комнату входит мама.

– Ты зачем на стену забрался?! – спрашивает она.

– На солнышке греюсь, – говорю я, открывая глаза.

– Солнце уже на потолке, – говорит мама.

И правда, пока я лежал на стене, солнце на потолок убежало.

– В новой рубашке на потолок не лезь, – строго говорит мама. – Перепачкаешься в побелке.

– Ладно, – соглашаюсь я. И одеваю старую, рваную рубаху.

Шкаф

Мы купили новый шкаф. С ящиками, дверцами и ручками. Шкаф как шкаф. Но лучше старого.

– Куда же девать старый? – спрашивает мама.

– А мы его с балкона сбросим, – говорит папа.

– Да, на голову управдому Федоскину, – говорит мама. – Может, хоть это чуточку встряхнёт его, и он вспомнит, что обещал заменить нам кран.

Я испугался за управдома Федоскина. Он хоть толстый и ленивый, но добрый. Выбежал я на улицу и встал под нашим балконом. А тут как раз Федоскин идёт. Я и говорю:

– Федоскин, вы здесь не ходите. Папа собирается шкаф с балкона скидывать.

– Это ещё что такое? – кричит Федоскин. – По какому праву?

А я и говорю:

– Шкаф-то совсем старый, никуда не годный.

– Старый-то он старый, – рассуждает Федоскин. – А по голове хлопнет не хуже нового. Это самое настоящее хулиганство. Надо протокол составлять и штраф взимать.

Федоскин ушёл составлять протокол, а я ещё постоял немного, подождал, пока шкаф с балкона вылетит. Но он всё не вылетал и не вылетал.

Тогда я прихожу домой и говорю:

– Что ж вы шкаф-то не скидываете? И Федоскин уже ушёл…

– Ха-ха-ха, – смеются мама и папа. – Неужто ты и вправду думал, что мы шкаф сбросим? Это шутка.

Тут к нам заходит управдом Федоскин с милиционером.

– Нечего смеяться, граждане, – говорит он. – Сейчас штраф взимать будем. Готовьте ваши денежки.

– Это была шутка, – говорит папа. – Ребёнок не так понял.

– А вот чтоб неповадно было так шутить, мы вас и оштрафуем, – отвечает Федоскин. – А то ребёнок опять что-то неправильно поймёт и в ваше отсутствие всю мебель честным людям на головы повыкидывает.

Мама заплатила штраф, и Федоскин с милиционером ушли восвояси. Папа стал совсем грустный и говорит:

– Штраф не за дело заплатили. Если бы за дело, не так обидно было бы.

– А давай за дело? – говорю я.

Папа подумал, подождал, пока уйдёт мама, и говорит:

– Давай!

И мы с папой скинули шкаф вниз.

Ух, как он летел! Ух, как он грохнул! Развалился на фанерки, досочки и планочки.

Тут к нам снова заходит управдом Федоскин. Он смущённо улыбается и говорит:

– Может, и вправду это шутка была? Со шкафом, то есть?

И отдаёт штраф обратно.

– Чего уж теперь, – грустно говорит папа. – Шкаф мы уже, того…

– Ну, тогда другое дело, – успокаивается Федоскин. – А то я уж подумал, что обидел вас.

– Садитесь-ка лучше пить чай, – приглашает мама.

Папа и управдом Федоскин садятся и пьют чай.

Во всём виноват Фарадей

Наша семья живет дружно и весело. Мама шутит над папой, папа шутит над мамой. Они постоянно шутят друг над другом.

Утром папа бреется в ванной, подносит к горлу опасную бритву. А мама выключает свет.

- Ой-ей-ей! - кричит папа. - Ничего не вижу. Где бритва, где горло?
- Ты, оказывается, еще бреешься? - спокойно говорит мама. - Я думала, ты уже на работе.

Она не хочет, чтобы папа опаздывал на работу, поэтому и торопит его.

А когда мама приходит с работы, она стирает папину рубашку и вешает ее на веревку. Чтобы дотянуться до веревки, мама забирается на ванну. Она ходит по узкому краю ванны и балансирует руками.

Папа тихо подкрадывается и выключает свет.

- У-у-у! - кричит мама. - У-у-у! Ничего не вижу. Где веревка, где пол?!
- Елки-палки! - говорит папа. - Еще валандаешься? Я думал, ты уже рубашку на кухне гладишь.

Папа хочет пойти на работу в свежей рубашке и поэтому торопит маму.

За целый день мама и папа устают от шуток. Весь вечер они молчат. Папа смотрит хоккей по телевизору, мама разгадывает кроссворд. Я бегаю вокруг и дергаю их за руки, за ноги. На меня не обращают никакого внимания.

Тогда я тоже начинаю шутить. Как мама и папа я тоже шучу с электричеством. Выхожу на лестничную клетку и выключаю рубильник. Свет в квартире гаснет.

Папа не может смотреть телевизор, мама не может разгадывать кроссворды.

- Ну что ж, - говорит папа. - Раз нечего делать, займемся ребенком.

Мы все вместе садимся на диван, накрываемся одеялом. Мама и папа по очереди рассказывают в темноте сказки. И мне совсем не страшно, а даже наоборот - уютно и тепло.

Вдруг во всей квартире вспыхивает свет и к нам заходит сосед Федулов.

- Я вернул вас к цивилизованной жизни! - говорит Федулов. - Исправил неполадки в электроснабжении.

Федулову дают денег и папа снова садится к телевизору, мама - за кроссворды.

Как я злюсь на Федулова! Но еще сильнее - на старинного ученого Фарадея, который изобрел электричество. Если бы он его не изобретал, то все родители по вечерам сидели бы в темноте и рассказывали сказки своим детям.

Мы пишем рассказ

Мы с папой сидели у окна и дивились жизни. Была весна.

- Давай напишем художественный рассказ, - неожиданно предложил папа.
- Про что?! - удивился я.
- Хотя бы про это дерево, которое у нас под окном, - сказал папа.

Мы с ним уставились на дерево и стали думать, что бы такое про него написать. А дерево замахало ветвями, как будто хотело сказать нам: "Давай-давай, ребята! Пиши, катай, дуй во всю ивановскую!"

Но тут к дереву подбежал Колька Сыроежкин, хулиган из соседнего подъезда, и повис на ветке.

- Эй! Эй! - завопили мы с папой, высовываясь из окна. - Отойди! Отойди!
- А чего? - спросил Колька, раскачиваясь на ветке.
- Не трогай дерево! Мы про него рассказ пишем!

Колька ахнул, отцепился от ветки и куда-то убежал.

Мы с папой снова уставились на дерево. А оно снова замахало ветвями: "Давай пиши, не теряй времени!"

Но тут из-за угла дома выбежал Колька Сыроежкин и с ним еще пятеро мальчишек с нашего двора. Они окружили дерево и принялись разглядывать его, как сбежавшего из зоопарка жирафа.

Потом один из них крикнул нам с папой:
- А правда, что вы про это дерево рассказ пишете?
- Ну! - сказали мы с папой.
- А что оно - особенное?!
- Еще какое особенное! - отвечаем мы с папой. Ведь мы уже успели полюбить наше дерево.

Тогда мальчишки убежали и вернулись с кольями и проволокой. Скоро вокруг дерева была настоящая загородка. На эту загородку они повесили картонку с надписью: "Дериво пра каторое пишут расказ".

Мы с папой порадовались за наше дерево и пошли обедать. А потом мама поручила нам срочные домашние дела, и мы отложили рассказ о дереве на будущее.

Будущее подошло и промелькнуло очень быстро. Наше дерево уже зацвело как букет: белым и розовым. Потом цветы осыпались и на дереве появились маленькие яблоки. А в конце лета они стали золотыми и красивыми.

- Оказывается, это чудесная яблоня! - сказал папа.

Мы с ним стали дивиться на яблоню, а потом посмотрели вокруг. Вокруг стояли ободранные деревья. Ведь про них мы не писали рассказ, и мальчишки делали с ними все что угодно.

- А давай напишем рассказ про все эти деревья, - предложил я папе. - И тогда у нас под окном будет целый сад.
- Ну что ж, это идея! - обрадовался папа. - Искусство - великая сила...

И мы стали писать рассказ про сад.

Папа и цыгане

- Что-то долго нет отца, - сказала мама и посмотрела на часы. А я не стал смотреть на часы, я знал, что папа скоро придет. Тут в прихожей раздался звонок.

- Ура! - закричал я и побежал открывать дверь.

На пороге стоял цыганский мальчик. Он хотел пить.

Потом пришла цыганская девочка и тоже попросила пить. Потом пить попросила взрослая женщина в разноцветной юбке. Скоро у нас в квартире был целый табор. Они все хотели пить.

А потом они захотели посмотреть нашу квартиру. И пошли гулять по комнатам.

И тогда у нас стали исчезать вещи. Сначала исчезла мамина кофта, потом папины зимние ботинки.

А цыганские люди все ходили и ходили.

Мама сидела на диване и плакала. Я бегал по квартире и искал свою тельняшку. Когда я надеваю свою тельняшку, то ничего не боюсь. Но тельняшки нигде не было.

- Я в отчаянии! - сказала мама.

И тут пришел папа. Он долго смотрел на наших гостей и наконец сказал:
- Эх, ма!

И исчез в своей комнате. Скоро он появился с гитарой.

- Дай-дай-дай! - пел папа.
- Дари-дари-дари! - в ответ ему запели цыганские люди.

Они собрались вокруг папы и стали трясти плечами, руками и ногами.

- Жги! - закричал папа и начал прыгать вприсядку.

Вместе с папой запрыгал весь табор.

А мы с мамой сидели на диване и смотрели на них. Откуда-то стали вываливаться наши вещи. Сначала папины зимние ботинки, потом мамина кофта. И, наконец, моя тельняшка.

Пока мы с мамой собирали вещи, папа ушел с табором.

Он пропадал где-то всю ночь. А когда утром папа вернулся, на нем была рваная красная рубаха и облезлые сатиновые шаровары.

- Где же твой новый австралийский костюм? - строго спросила мама.
- Ерунда! Я выучил новую цыганскую песню, - сказал папа.

И спел нам песню.

Эдуард Успенский

Справочный материал

Эдуард Николаевич Успенский родился в Московской области в г. Егорьевске 22.12.1937 года.

После окончания школьной жизни Э. Успенский стал студентом Московского авиационного института. В годы учёбы в институте его литературные произведения начали выходить в печать.

Путь к творчеству Успенского начинается в юмористическом жанре совместно с А. Арконовым. Начали издаваться в “Литературной газете” и звучать по радио детские стихи.

В 1966 Эдуард Успенский стал популярен благодаря своим детским произведениям: ”Вниз по волшебной реке”, “Крокодил Гена и его друзья”.

После чего в 1970 году им были написаны такие популярные пьесы как ”Чебурашка и его друзья”, “Отпуск крокодила Гены”, ”Наследство Брахмана” и другие пьесы.

Все дети, не зависимо от возраста, любят созданные автором образы героев: Крокодила Гены, Чебурашки и многих др.

В начале 80-90-х годов автором был создан сборник стихов ”Всё в порядке”, выпущена целая серия книг для детей: "Дядя Федор, пес и кот", "Каникулы в Простоквашино", "Разноцветная семейка", "Колобок идет по следу”.

Также Эдуард Успенский был сценаристом известных до сей поры мультфильмов про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино. Несмотря на смену поколений, герои мультфильмов остаются надолго в сердцах всех зрителей.

Э.Н. Успенский писал также для таких известных передач, как "В нашу гавань заходили корабли", "АБВГДейка", "Радионяня".

Произведения автора издавались на 25 иностранных языках и популярны в Голландии, Франции, Японии, Финляндии, США. Самые известные книги и произведения Э.Н. Успенского в настоящий момент:

- *”Дядя Федор, пес и кот”. Сцен. Э. Н. Успенского.*
- *”Тетя дяди Федора”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Любимая девочка дяди Федора”. Сцен. Э. Н. Успенского.*
- *”Зима в Простоквашино”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Новые порядки в Простоквашино”. Сцен. Э.Успенского.*

- *”Дядя Федор идет в школу”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Привидение из Простоквашино”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Клад из деревни Простоквашино”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Праздники в деревне Простоквашино”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Крокодил Гена и его друзья”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Отпуск крокодила Гены”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Бизнес крокодила Гены”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Чебурашка уходит в народ”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Крокодил Гена – и грабители”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Похищение Чебурашки”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Три комикса с Чебурашкой”. Сцен. Э.Успенского.*
- *”Следствие ведут Колобки”. Сцен. Э.Успенского.*
- *"Вниз по волшебной реке". Сцен. Э.Успенского.*
- *"Грамота". Сцен. Э.Успенского.*
- *"Дядюшка Ау". Сцен. Э.Успенского.*

И многие другие произведения.

На данный момент автор живёт и работает в Московской области, его новые произведения выходят в печать в издательстве ”Самовар”.

Гарантийные человечки

Глава первая. Приезд Холодилина.

В ясный солнечный день в квартиру привезли холодильник. Деловые и сердитые грузчики внесли его на кухню и сразу же ушли вместе с хозяйкой. И тихо-тихо стало кругом.

Вдруг сквозь щель облицовочной решётки из холодильника выбрался на пол маленький человечек несколько странного вида. За спиной у него висел газовый баллончик, как у аквалангистов, а на руках и ногах были надеты большие резиновые присоски.

Человечек отошёл в сторону, осмотрел холодильник и вдруг мухой полез наверх - туда, где виднелась рваная свежая царапина. Он подобрался к ней, включил пульверизатор, и через секунду чёрная полоска растаяла на белоснежном фоне нового холодильника. Растаяла под облаком белой краски.

А на стене кухни висели огромные старинные часы. С башенками, с толстыми литыми стёклами и большущим жёлтым маятником. Над циферблатом было окошко для кукушки.

В этих часах сбоку открылась дверца, и вниз скатилась верёвочная лестница. Она доставала как раз до самого пола. Человечек из холодильника обернулся и посмотрел наверх. Он увидел другого маленького человечка очевидно, хозяина часов.

Это был старый мастер, весь седой, в чёрном сюртуке и золотых очках.

- Здравствуйте, - сказал старичок. - Когда вы закончите, будьте добры, поднимитесь ко мне. У меня как раз чай вскипел. Вам с дороги.

- Большое спасибо, - отвечал новичок. - Через пять минут я буду у вас.

Он спустился вниз. Занёс под холодильник инструменты и отправился по верёвочной лестнице в гости. Хозяин часов встретил его у входа.

- Иван Иванович Буре, - представился он и поклонился.

- Холодилин, - отвечал гость.

- Прошу вас.

Они направились вверх по крутой винтовой лесенке. Холодилин с любопытством озирался по сторонам. Видно было, Как за перилами работает часовой механизм.

Крутились и покачивались колёса, жужжали блестящие шестерёнки, и переваливалась с места на место качалка маятника.

Лесенка привела их к большой площадке-комнате. Там посредине стоял стол с самоваром. У одной стены была кровать с горой подушек, а у Другой верстак с блестящими белыми инструментами и всякими латунными приспособлениями. В комнате было очень чисто и всё как-то очень продумано.

И вообще она скорее напоминала не жильё, а старинный дом-музей какого-то известного учёного.

Рядом со столом в стене было прорезано окно. И на широком подоконнике дремала большущая кукушка с выпученными глазами и разинутым ртом. Она была красная, с жёлтыми крыльями.

Вот и всё.

А внизу под полом тикал и вздыхал часовой механизм.

- Надолго к нам? - спросил часовой мастер, разливая чай по стаканам.

- На два месяца.

- Это почему? - удивился Иван Иванович. - Такой короткий срок гарантии?

- Нет. Гарантия обычная - два года. Просто мой холодильник взят напрокат. На дачу. А вы надолго сюда?

- Боюсь, на всю жизнь. Теперь уже поразился гость:

- На всю жизнь?! У этих часов такая гарантия?

- Гарантия обычная. Просто того завода, на котором эти часы делали, давно нет. И ехать мне некуда. Вот и живу здесь почти шестьдесят лет. И часики, смею заметить, как новые. Секунда в секунду идут.

Тут он вынул из кармана маленькие часы, посмотрел на них.

Высунувшись в окошко, он сверил свои часы со стрелками большого циферблата. И те и другие показывали ровно одиннадцать.

- Машка, - сказал Иван Иванович кукушке, - пора!

- Не пора, - вдруг ответила та.

- А я говорю: пора!

- А я говорю: не пора!

- В чём дело? - сурово спросил Иван Иванович. - Ты почему не кукуешь?

- А для кого куковать? Никого в доме нет.

- Ну и что? Ты кукуешь не для кого-нибудь, а потому что так надо. Кукуй, кому говорят!

- Ку-ку, ку-ку, ку-ку, - быстро и сердито затараторила кукушка, будто кого-то дразнила.

Так прокуковала она одиннадцать раз, чуть-чуть высунув нос в окно, лишь бы от неё отвязались.

Потом она снова поудобнее устроилась на подоконнике и задумалась.

- И днём ку-ку и ночью ку-ку! И через час ку-ку и через полчаса ку-ку! А спать-то ку-ку? - сквозь сон ворчливо сказала она.

- А ещё кто у вас живёт? - спросил Холодилин после куковального бунта. - Есть наши?

- Есть, есть, - отвечал Буре. - Вот я вам покажу. Они поднялись ещё выше по той же внутренней лестнице и оказались наверху на балконе.

- В кухне я один живу, - сказал часовой мастер. - Был ещё швейный человечек в машине. Но он уже уехал. Гарантийный срок у него кончился. А в той комнате есть ещё двое наших. Один в пылесосе, другой в приёмнике. Я вас с ними познакомлю.

Только знаете что, - он посмотрел на часы, - сейчас хозяйская дочка придёт, минуты через две. Решайте, как быть: к себе пойдёте или у меня останетесь? Лучше побудьте у меня.

- К себе, к себе! - поспешно отвечал Холодилин. - У меня и дел полно, да и вещи не убраны.

- Тогда спешите, сударь. Ребёночек этот шустрый: может и раньше времени прийти.

Холодильный человечек быстро спустился вниз и перебежал к себе. А Иван Иванович затащил верёвочную лесенку наверх. И как раз вовремя: кто-то уже вовсю гремел ключами у входной двери.

Глава вторая. Голос из холодильника.

Была ночь, и все люди в квартире спали. Спали и папа, и мама, и их девочка Таня.

Вот распахнулось окно в часах, и кукушка Машка старательно прокуковала полночь.

И тотчас в холодильнике, в часах и в радиоприёмнике раскрылись двери, и вниз стали спускаться гарантийные человечки. В руках они держали фонарики.

А вокруг был полный беспорядок! Стояли чемоданы, корзины, лежали увязанные гроздьями кастрюли и чайники. Хозяева готовились к переезду на дачу. Человечки сошлись посередине кухни и поздоровались.

- Это наш новый жилец, - сказал Иван Иванович. - Его зовут Холодилин.

- Говорит Москва, - представился человечек из приёмника, - но это моё торжественное имя, а обычно меня зовут Новости Дня... Надолго к нам?

- На два месяца! - отвечал Холодилин. - Мой холодильник взят напрокат. На дачу.

- А где Пылесосин? - спросил Иван Иванович.

- Спит, как всегда, - сказал Новости Дня. - Пойдёмте его будить.

И человечки пошли в большую комнату, где в углу рядом со шкафом стоял пылесос "Уралец".

Новости Дня тихонько постучал по пылесосу.

- Пылесосин, вставай! - сказал он шепотом, чтобы не разбудить людей, спавших в комнате.

- Не, не могу, - отвечал голос из пылесоса. - Я сплю.

- Как жалко, что ты спишь, а то бы мы сообщили тебе интересные новости.

- А вы сообщите, - сказал Пылесосин. - Я новости и во сне понимаю.

- Но мы боимся тебя разбудить, - объяснил Новости Дня. - Вот если бы ты не спал, тогда другое дело.

И тут на пылесосе вверху открылся люк, как у танка, и высунулась заспанная, но любопытная рожица гарантийного мальчишки.

- Ну чего у вас?

- Вот познакомься. Новый мастер.

Холодилин и мальчишка пожали друг другу руки.

- Я хочу устроить маленький праздник, - сказал Холодилин.

И все заулыбались.

- Только давайте не у меня соберёмся. А то мне у меня надоело.

- А нам у нас надоело, - огорчились другие человечки.

- Давайте пойдём в швейную машинку, - предложил Буре. - Там и комната большая, и ковров сколько хочешь.

- Нет, - возразил Холодилин, - лучше пойти на природу.

Сначала его не поняли.

- Это как на природу? - спросил радиомастер.

- А так. Есть у вас цветы?

- Ура! - завопил Пылесосин. - Я всё понял. Пошли на природу - на кухню!

Человечки прошли на кухню, пробираясь среди кастрюль и чайников. Холодилин вынес корзину с едой, и по плетям традесканции все забрались на подоконник. Новый мастер разлил чай из термоса по кружкам и сказал:

- Я очень рад, что оказался в такой хорошей компании. И рад тому, что вас живёт здесь целых трое.

- А я скоро уеду, - сказал Новости Дня. - Через три месяца. Прилетит вертолётик и отвезёт меня на завод. А там в новый приёмник или телевизор...

- И я скоро уеду, - сказал Пылесосин. - У меня будут экзамены. Ведь я ученик. Я не с завода. Я из ремонтной мастерской. У нас гарантийный срок короткий - полгода всего.

- Так что я один останусь... - грустно промолвил Буре. - Опять один. За мной вертолётик не прилетит.

- Это меня и тревожит, - сказал Холодилин. - Тяжело оставаться одному. И может, на всю жизнь.

- У него Машка есть, - сказал Новости Дня.

- Машка - не то, - возразил Холодилин. - Товарищи нужны.

А Иван Иванович, когда заговорили про Машку, посмотрел на часы. Было ровно час.

- Вот видите, не кукует. Совсем от рук отбилась!.. Машка! - закричал он. - Ты что, заснула?

Машка высунулась из часов и долго соображала, чего же от неё хотят. Потом сердито кукнула один раз и быстро засунулась обратно. А Холодилин продолжал:

- И я предлагаю Ивану Ивановичу поехать со мной на дачу. Пусть он хоть отдохнёт и наберётся сил перед одиночеством.

- Нельзя! - сказал Новости Дня. - Гарантийный человек не может покидать своё место до окончания гарантийного срока.

- А если срок давно кончился?

- Ну и что? А как же часы? Вдруг они станут неправильно ходить?

- Они могут и вообще не ходить. В городе же никого не будет. В крайнем случае за ними Машка присмотрит.

- И пылесос в городе не нужен! - закричал мальчишка Пылесосин. - Я тоже хочу на дачу!

- А ты почему? - спросил радиомастер. - У тебя-то срок не кончился. Тебе ещё сидеть и сидеть.

- А я ученик, - возразил мальчишка. - И мне каникулы положены раз в году. Можно мне с вами, дядя Холодилин?

- Ага! - сказал Холодилин. - Решающий голос из пылесоса за нас. А что, поезжай, конечно, и ты.

- А мне всё это не нравится, - сказал Новости Дня. - Я обязательно сообщу в Управление гарантийных человечков. Что они об этом скажут...

- Да ничего не скажут. Там не глупые люди сидят. Ну что, Иван Иванович, едем?

- Я бы поехал, - сказал Буре, - только Машку надо с собой взять. Она без меня пропадет.

- И Машку возьмём. Веселее будет. Только бы она у нас куковать не начала.

Получится холодильник с кукушкой.

- Не начнет, - успокоил Буре. - Она свои "ку-ку" как рубли бережёт. Клещами, не вытянешь.

- Значит, договорились, - сказал новый мастер. - Собирайте вещи и перебирайтесь ко мне в холодильник. Завтра его повезут на дачу.

Они ещё попили чаю и поели пирожных. И Холодилин рассказал им последние новости.

Он сказал, что на полях больших газет скоро будет печататься газета для гарантийных человечков. Она будет набираться особым, незаметным людскому глазу шрифтом и будет называться "За гарантийную гарантию". И что там будут не только объявления и новости, но и рассказы и стихи. И что всем гарантийным мастерам управление скоро разошлёт специальные фонарики для чтения незаметного шрифта.

А потом человечки разошлись по домам собирать дорожные вещи. И сразу же луна скрылась за облаками.

Глава третья. Переезд.

Утром холодильник вместе с другими вещами погрузили в машину. И вот уже целый час весело бежит грузовик по дороге.

Иван Иванович с Машкой на руках и Пылесосин сидели в комнате холодильного мастера. А сам Холодилин лазил где-то в кишках агрегата. Что-то подкручивал, подвинчивал и отмечал крестиками места, которые немного повредились при перевозке.

Вот машина остановилась, и, кажется, надолго, потому что водитель выключил мотор. И сразу в дверцу комнаты кто-то постучал. Это был не Холодилин, а совсем другой мастер. В чёрном комбинезоне, весь замасленный. На боку у него висела сумка с инструментами.

- Привет, - сказал он. - Не растрясло вас?

- Трясет! Ещё как! - отвечал Пылесосин. - До потолка прыгаем.

- Это у меня рессоры слабоваты. Приеду в гараж, буду отлаживать. Давайте знакомиться. Я - Карданыч.

- А как вас по имени величать? - спросил Буре.

- Да никак. У пас в автогарантии всех по отчеству зовут: Карданыч, Рессорыч, Светофорыч.

Пылесосин и часовой мастер представились человечку.

- Мы уже приехали? - спросил мальчишка.

- Нет. Просто у переезда стоим, - ответил автомастер. - А вы в Дорохово едете?

- В Дорохово.

- Значит, через час будем. Там красиво. Я бывал в Дорохове.

Мотор снова загудел.

- Пойду работать, - сказал Карданыч. - Сейчас жарко. Вода может перегреться.

Привет.

Машина побежала дальше. И ровно через час, как и обещал Карданыч, они оказались на месте.

Глава четвертая. Парламентеры.

Ночью, ровно в двенадцать, гарантийные человечки вышли на пол, достали фонарики и начали обход.

Дача была небольшая - две комнаты и терраса. Она же кухня. На кухне стояла газовая плитка с баллонами, но в ней никто из гарантийных не жил наверное, кончилась гарантия. В одной комнате спали папа с мамой, в другой - хозяйская девочка.

И вдруг Холодилин увидел радиоприёмник на столе.

- Ого-го! - сказал он. - Кажется, и наш начальник приехал. Значит, будет веселей!

И в самом деле из приёмника выбрался сердитый и расстроенный Новости Дня. После перевозки его приёмник барахлил. Хозяева неправильно развесили антенну и совсем забыли как следует настроить звук. Из-за этого приёмник подхрюкивал и говорил так:

- Передаём, хрю-фью, старинные вальсы. И огромный хор пел:

Плавно, хрю-фью, свои волны несёт.

Ветер, хрю-фью, быр-быр, песни поёт:

Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю...

Радиомастеру пришлось всё это исправлять, везде лазить, и его даже два раза трахнуло током. В конце концов приёмник стал говорить нормально, а радиомастер, наоборот, стал хрюкать и присвистывать.

- Ну как дела? Какие новости? - спросил Холодилин.

- Новости? Обычные. На полях хрю-фью-сины начались хрю-сенние работы. Быр-быр.

На южном хрю-бережье Крыма в полном разгаре хрю-рортный сезон. Хрю-зидент хрю-ландии посетил быр-быро-строительный завод.

- Да я не об этом, - сказал Холодилин. - Доехал ты хорошо?

- Нормально доехал.

- А у меня щётка испортилась в электромоторе.

- Как же так? А ты куда смотрел?

- Я тут ни при чём. Электромотор при перевозке полагается привинчивать к полу.

Чтобы он не болтался. А хозяева этого не сделали.

- А что же ты не сделал?

- Да там каждая гайка больше меня. Я не то что завинтить - сдвинуть её не могу.

Вот щётка и разбилась, потому что автомобиль трясло. Нет у тебя запасной?

- Нет. Если только из проигрывателя взять.

- Слушай, возьми, пожалуйста. А то завтра холодильник включат, а он не работает.

И мне конец.

- А послезавтра радиолу включат, и тогда мне конец?

- Понимаешь, - сказал Холодилин, - холодильник за городом важнее, чем танцы. И потом, мне не хочется, чтобы контору мою ругали, прокатную. К ней и так доверия нет. А она здесь не виновата.

- А когда отдашь? - спросил Новости Дня.

- Быстро. Только с управлением свяжусь. Они через два дня доставят.

- Ладно, по рукам, хоть и не нравится мне всё это. Пойдём сначала дачу смотреть.

Потом щётку переставим.

Всё было бы хорошо, да вот беда - девочка Таня не совсем спала. И всё из-за такого интересного переезда. Одна половинка её уже почти заснула и говорила ей:

"Спи, спи, Танюша. Уже поздно". А вторая никак не хотела засыпать и говорила другой: "Не спи! Не спи, Татьяна! Здесь какие-то человечки с фонариками. Их надо поймать".

Эти две половинки всегда враждовали между собой. Одна уговаривала Таню быть послушной девочкой, не капризничать, убирать игрушки, вовремя ложиться спать. А вторая - наоборот: залезть на шкаф, стукнуть кого-нибудь лопаткой, отрезать себе косички ножницами.

Когда верх брала первая половинка, девочку называли Танечкой, Танюшкой, Танюшечкой. А когда вторая - только Татьяной. Так и мы будем называть эти половинки - Юшечкой или Яной. Как будто в Тане живут две девочки.

Так вот, Юшечка наконец заснула. А Яна ещё долго таращила глаза. Вернее, один глаз. Ох какие интересные были эти человечки! Жаль, что они вскорости покинули комнату и ушли на кухню-террасу.

- Слышите? - сказал Холодилин.

За окнами раздавались свист и щёлканье.

- Что это? - спросил Пылесосин. - Милиция? Холодилин рассмеялся:

- Это соловьи. Они всегда поют за городом.

- Хорошо поют. Заслушаешься! - сказал Буро. - Вот бы мне их в часы вместо Машки.

- Ничего, - успокоил его Холодилин. - Она здесь настоящую кукушку послушает, тоже неплохо куковать начнёт.

- А это кто поёт? - спросил Новости Дня.

- Вот это "пили-пили"? - переспросил Холодилин. - Это сверчок.

- Да нет, не "пили-пили", а "дыр-дыр-дыр".

- Кажется, это мыши скребут.

И точно: в углу послышался писк, какая-то возня, и из норки на пол выбрались два серых мышонка. Они деловито отряхнулись, вытащили из норки белый флажок и барабан, построились в шеренгу и пошли. Под барабанный бой они подошли к человечкам и остановились.

- Привет! - сказал тот, который был повыше и держал флаг. - Вы гарантийные?

- Гарантийные, - ответил Холодилин.

- Мы пришли объявить вам войну! - Тут мышонок поменьше и потолще важно забарабанил дробь.

- Почему? - спросил Холодилин.

- Мы всегда воюем с гарантийными! Это наш дом, - ответил высокий мышонок. - Мы здесь главные!

- Ну и ради бога. А воевать-то зачем?

- Понятия не имеем. Такие обычаи сложились здесь за века. А наш солдат не думает: у нас, мышей, солдат выполняет обычаи веков. Таков наш серый герой.

А маленький всё барабанил.

- Слушай, - вдруг сказал Холодилин тому, что повыше, - сыру хочешь?

Тот вытянулся в струнку:

- Да здравствует его величество король ещё как! И непонятно было, что ещё как:

то ли король, то ли сыр.

- Пошли, - сказал Холодилин и повёл "серого героя" к себе.

Остальные человечки окружили маленького мышонка. Около него лежал белый переговорный флаг.

- А где вы живёте?

- А много вас?

- Три, четыре, пять, семнадцать, двадцать, одиннадцать! Во! - сказал он.

- А ты умеешь считать-то? - спросил Новости Дня.

- А как же! Раз, два, три, четыре, двадцать один, пятнадцать, триста! И ещё.

- Блистательно! - рассмеялся радиомастер.

- А вы злые? - спросил Пылесосин.

- Мы? - переспросил мышонок и стал оглядываться. Видно было, что ему здесь неуютно и хочется домой. - Мы такие... какие... как один... все. Во! За всех!..

Вперёд!

Вернулся Холодилин с высоким мышонком. Кажется, они основательно подружились.

Под мышкой "серый герой" держал кусок сыра, а в свободной лапе - кружок колбасы.

Поэтому он никак не мог ухватить белое переговорное знамя.

Тогда он сунул колбасу в рот своему помощнику и строго приказал:

- Не кусать ни в коем случае! Доставить живьём! Теперь лапа у него освободилась, и он поднял флаг.

- А много вас, начальник? - спросил Холодилин.

- Нас ровно двадцать девять. И имя нам легион!

- А как вас зовут? - спросил Буре. - Вот вас и вас.

- Мышкин и Подмышкин. Лейтенанты кавалерии! И под барабанный бой мышата удалились. Причём маленький всё время сворачивал налево, куда тянул его кусок колбасы. Ему, наверное, было очень трудно держать колбасу, но не откусывать.

- У них даже кавалерия имеется, - грустно сказал Буре.

- Ерунда! - возразил Холодилин. - Пока у нас есть колбаса и сыр, нам не страшно никакое сражение. Ну как, Иван Иванович, нравится тебе на даче?

- Не знаю, - ответил Буре. - Непривычно, как за границей.

- А вы бывали за границей? - спросил Новости Дня.

- Нет, не бывал, - сказал Буре. - Потому и непривычно.

- Ну ладно, погуляли - и хватит, - сказал Холодилин. - Пошли щётку переставлять.

Глава пятая. Яна и Юшечка.

Утром как только девочка Таня проснулась, она побежала к маме.

- Мама, у нас в доме кто-то живёт. Я вчера ночью видела.

- И кто же это? - спросила мама.

- Человечки маленькие. Они вчера ходили с фонариками.

- Это тебе приснилось.

- Нет, не приснилось, - сказала упрямая половинка Яна. - Потому что один глаз у меня уже спал, а другой нет. И всё видел. Самые настоящие человечки.

- У тебя скоро день рождения, - сказала мама. - Через три дня. Вот я тебе солдатиков подарю. Будут у тебя человечки.

- Человечки - живые, а солдатики - неживые. Я хочу человечков найти.

- Ну хорошо, - согласилась мама. - Ты положи им вечером конфету. Если они её съедят, значит, они есть. А если нет, значит, это был сон.

"Наверное, это был сон", - подумала послушная половинка Юшечка.

"Для тебя сон, а для меня - ни капельки!" - возразила вредная половинка Яна.

Когда хозяева ушли купаться, Холодилин, Буре и мальчик выбрались из холодильника и залезли на подоконник природу смотреть.

- Какие просторы! - сказал Пылесосин. - Поля. Фонари. Вот бы туда пойти!

И тут из леса послышалось громкое и отчётливое "ку-ку, ку-ку, ку-ку!".

Иван Иванович схватился за часы.

- Батюшки! Уже три. Что это с моими часами?! Отстают?

Кукушка куковала всё дальше и дальше. А Иван Иванович считал:

- Пятнадцать, шестнадцать... двадцать восемь! Ничего не понимаю. Разве может быть тридцать часов... У неё, па-верное, ограничитель сломался.

Остальные человечки хохотали. Пылесосин так и покатился по подоконнику.

- Ой, ой! Держите меня! Отстают! Да это живая кукушка!

- Живая? - переспросил Буре. - Я совсем про них забыл. Думаю, раз "ку-ку", значит, время отбивают. Надо за Машкой сбегать. Пусть поучится.

Машка слушала, слушала сонно, потом как вытаращит глаза и давай тоже кричать:

"Ку-ку!" Да так здорово и громко, что лесная кукушка удивилась и замолчала.

- Что, съела? - сказала Машка, снова склонила голову набок и задремала.

Тут на подоконник взобрался радиомастер:

- Слышали новость?

- Какую?

- Про хозяйкину дочку. Она нас заметила. Я был у себя и слышал, как она с матерью разговаривала.

- Ну и что? - спросил Пылесосин.

- Ничего. Будто ты не знаешь. Если дети узнают про гарантийных человечков, беда начнётся. Они будут все приёмники и часы разбирать, чтобы нас достать.

- Верно, - поддержал его Буре. - Эта девочка ещё в городе два раза пыталась Машку из часов вытащить. Ей пришлось куковать во всю ивановскую, а мне трезвон устраивать, чтобы родители прибежали.

- А однажды она полприёмника развинтила: посмотреть, кто там разговаривает.

Пришлось к ней провода с током поднести и дёрнуть как следует. Чтобы больше не лазила. Крику было - я чуть не оглох!

- Теперь она хочет конфету на пол положить, - продолжал радиомастер. Если конфета пропадёт, значит, мы её съели. Тогда она будет нас искать.

- Мы-то конфеты не возьмём, - насторожился Холодилин. - А вот мыши...

- Надо будет часового на ночь поставить. Например, меня, - предложил мальчишка.

- Чтобы мыши конфету не съели.

- Часового нельзя, - возразил Холодилин. - Мыши его вместе с конфетой утащат.

- Значит, провода с током проведём, - предложил Но вести Дня. - Их как трахнет!

- А можно конфету затащить на ночь к нам, - сказал Буре. - А утром на место положить.

- Толково, - согласился Холодилин. - Так и сделаем.

- Но это еще не всё, - сказал радиомастер. - Есть ещё одна новость. У хозяйской девочки день рождения через три дня.

- А нам-то какое дело? - сказал Холодилин.

- А такое, что гости придут, радиолу включат. А она не работает. И мне сразу выговор по гарантийной линии.

- Верно, - согласился Холодилин. - Но ты не отчаивайся. Мы сегодня же пойдём звонить в управление. Будет щётка.

В этот день хозяйская девочка Таня очень устала. Потому что её хорошая половинка Юшечка всё время помогала маме: стирала платьице, испекла блинчик, вынесла на помойку разбитую чашку и протёрла пол па кухне. Плохая половинка Яна тоже очень устала. Она весь день лазила куда не надо. Разбила чашку, испачкала платьице, пролила воду на кухне и кидалась блинчиком в соседскую девочку.

- А сейчас положим конфету для человечков, - сказала Яна перед сном.

- Не надо их ловить! - заспорила Юшечка.

- Обязательно поймаем. Ни у кого человечков нет, а у нас будут, упёрлась Яна.

Она достала конфету из сахарницы, положила на пол и прыгнула на кровать. Через пять минут девочка спала.

- Молодец у нас Танюша, - сказала мама и поправила на ней одеяло. Надо ей на день рождения котёнка подарить.

Глава шестая. Диверсанты.

Как только взрослые улеглись, Холодилин и Новости Дня выбрались из холодильника и утащили конфету к себе. Затем они стали готовиться в дорогу. Надо было дойти до ближайшей телефонной будки и позвонить в управление насчет запасной щетки.

- Оружие возьми, - сказал радиомастер. - Мало ли что.

- Не беспокойся, - ответил Холодилин. - Не впервой.

Они оделись потеплее и вышли в серебристую темноту ночи. А Иван Иванович и мальчик остались дома пить чай.

- Иван Иванович, - сказал Пылесосин. - А почему бы вам не переучиться на электрика? И в современные часы не перейти, электрические?

- Стар я переучиваться, - ответил Буре. - И мастерство своё мне жаль. Мы, старики, народ упрямый. Вот, к примеру, у меня приятель есть, Вальс Иван. Он в рояле живёт. Уж сколько раз его переманивали на пианинную работу. Сейчас ведь квартиры не те, рояль ставить негде, а на пианино спрос огромный. Так не хочет он идти в пианино. Умение своё жалеет. Хотя работа там и полегче будет. И все мы так. Не хотим своих вещей покидать. Потому старинные вещи так хорошо и работают.

И ружья, и скрипки, и люстры, и самовары. Да мало ли что? Мне бы самому ученика заиметь и все секреты ему передать.

- Что же - управление не может ученика прислать? - спросил Пылесосин.

- Легко сказать, - ответил Буре. - Часов таких мало осталось. Спрос на них невелик. Ученики в других местах нужны. А потом хватятся, да поздно будет.

Тут маленькая лампочка над столом замигала и погасла.

"Что такое? - задумался Пылесосин. - Электричество выключили?"

Он достал фонарик.

- Вы посидите, Иван Иванович, а я пойду посмотрю - может, проводка барахлит.

- Нет уж, лучше вы посидите, молодой человек, - возразил Буре. - Я сам схожу.

Время тревожное. Не забудьте - нам война объявлена.

И он вышел. Прошло пять минут, однако Буре не возвращался. Не вернулся он и через десять и через двадцать минут. Пылесосин по-настоящему заволновался. Взяв гаечный ключ побольше, он вылез из холодильника и пошёл вдоль провода к электрической розетке.

- Стоп! - вдруг сказал он. - Провод перекушен. Это мыши. Пропал Иван Иванович. - И он бегом бросился к холодильнику.

Холодилин и Новости Дня побывали уже в трёх телефонных будках. В двух автоматы были сломаны. В третьей автомат работал, но там не было гарантийного человечка.

Стал накрапывать дождик.

Только в четвёртой будке им повезло. На условный сигнал - четыре сдвоенных удара по стенке - к ним упала изящная капроновая лестница с металлическими перекладинами.

Как следует вытряхнув одежду, мастера поспешили наверх. Гарантийная комната была новенькая, как с выставки современного оборудования. Кругом пластмасса, дерево и металл. А может, дерево под пластмассу или пластмасса под дерево и металл.

Сверкающие ручки, выдвижные кровати и уезжающие в стенку письменные столы.

Точно таким же выставочным был и сам хозяин - аккуратно причёсанный юноша в белом нейлоновом халате. Он отлаживал наполовину вытащенный из стенки прибор с надписью: "Счётчик выручeнных двушек".

- Садитесь, - махнул он паяльником вошедшим мастерам. - Я сейчас.

Около него лежал на столе наушник, и оттуда доносились обрывки телефонных разговоров.

- Подслушиваете? - спросил Холодилин.

- А что? - ответил телефонист. - Телевизора у меня нет. Радио пет. Что мне прикажете делать по вечерам? И потом, никто не запрещает.

- Что делать? - переспросил Холодилин. - Придумали бы средство против тех, кто автоматы ломает. Мы пока к вам добрались, два сломанных встретили.

- А почему я должен думать? - сказал юноша. - Пусть в управлении думают. Их там много, и даже лысые есть.

- Я вижу, вы все на это управление как на бога надеетесь. А у самих голова на плечах зачем? Шапочки нейлоновые носить?

- Как вас зовут? - вмешался Новости Дня.

- Слава меня зовут. Кабытов. А по-служебному Ноль Один.

- Так вот, уважаемый Ноль Один, нам надо немедленно переговорить с управлением, - сказал Холодилин.

- На которое не следует надеяться как на бога, - подхватил молодой человек.

- Один - ноль, - рассмеялся радиомастер.

- Ноль Один, - поправил Кабытов. - Между прочим, я подавал предложение против тех, кто автоматы ломает. Чтобы специальную чернильную стрелятельницу ставить.

Или колотушку пружинную. Ты по автомату стукнул, а она - по тебе. С такой же силой.

- Ну и что? - спросил Новости Дня.

- Ничего. Отказали. Не воспитательно это и не человечно, мол, хулиганов чернилами пачкать. Они, наверное, хотят, чтобы хулиган телефон ломал, а ему пластинка включалась воспитательная с музыкой: "Дорогой хулиганчик, не ломай, пожалуйста, наш автоматик. Будь умненьким".

- Ладно, - остановил его Холодилин. - Давайте мне управление. В другой раз на эту тему побеседуем.

Через некоторое время он уже кричал в маленькую телефонную трубку:

- Что значит не можете выслать? Не хватит бензина у вертолётика? А ему не надо лететь до самого Дорохова. Пусть сядет на крышу электрички и приедет. А здесь от станции совсем рядом. А мы на телефонной будке крест нарисуем. Там и оставите щётку... Кто принял заказ? Петров? Ну смотрите, Петров, чтоб завтра щётка была!

Звонил Холодилин. Не Молотилин, а Холодилин. Всё. Привет Великому Трансформатору!

Он положил трубку.

- Как тут у вас, Слава, можно на крышу забраться? Лестница есть?

- Никак вам не надо забираться, - ответил юноша. - Идите себе. Я сам этот крест нарисую.

Когда Холодилин и радиомастер вернулись в дом, их встретил встревоженный Пылесосин:

- Иван Иванович пропал... Его мыши украли. Что делать теперь?

- Час от часу не легче, - сказал радиомастер. - Я так и знал, что добром это не кончится.

Холодилин задумался. Потом осмотрел проводку.

- Я думаю, ничего страшного с Иваном Ивановичем не случится, - сказал он. - Если они сообразили перегрызть провод, они сообразят, что пленного выгоднее всего обменять на сыр или там колбасу. Зачем он им?

- Сообразят или не сообразят, я не знаю, - сказал Новости Дня. - А я вас предупреждал. Не надо было Ивану Ивановичу ехать за город. Чуяло моё сердце. Ох, как чуяло!

- Не будем спорить, - остановил его Холодилин. - Мы вот как сделаем. Во-первых, вынем конфету из фантика. Во-вторых, фантик положим около норки. А в-третьих, приготовимся к тому, что хозяйская девочка станет нас усиленно разыскивать.

- И что будет? - спросил радиомастер.

- А вот увидите.

Глава седьмая. "В гарантийных хлебах затерялося".

Утром хозяйская девочка Таня первым делом закричала:

- Мама! Мама! Смотри - нет конфетки. Что я говорила! Значит, есть человечки!

Мама посмотрела и увидела фантик на полу, около мышиной норки.

- Есть, есть, - сказала она. - На четырёх лапках с хвостиком. Мышки называются.

- Нет, не мышки, - возразила Таня.

- Нет, мышки.

- А я говорю - не мышки!

- Ну хорошо, - не стала спорить мама. - Вот мы поставим мышеловку на ночь и всё узнаем.

- Теперь ты понял, зачем мы фантик оставили? - спросил Холодилин у мальчика.

- Понял. Чтобы мама мышеловку поставила. А что дальше будет, дядя Холодилин?

- А вот увидишь. Дальше будет интереснее. Когда хозяева ушли на реку загорать, к холодильнику подбежал Новости Дня.

- Эй, вы! Пошли ко мне радио слушать. Гарантийная передача идет!

Человечки поспешили в дом к радиомастеру. Гарантийная передача - вещь нужная и интересная.

Комната радиомастера была не такой уютной, как у Буре, и не такой обыкновенной, как у Холодилина. Она больше была похожа на трансформаторную будку или машинное отделение лифта. Кругом резиновые коврики, рубильники и пульты с лампочками.

Повсюду висели надписи: "Не трогать - смертельно!" А рядом рисунки с черепом и костями. Даже на шкафу с посудой. На столе стоял электрический самовар с таким же рисунком и фарфоровые чашки с теми же надписями. И только на огромной красной тахте в углу ничего не было написано.

Человечки сразу забрались на тахту и с уважением стали осматривать смертельную комнату.

- Чаю хотите? - спросил хозяин.

Но никто не хотел пить чай из смертельного самовара.

- Мне кажется, только я возьмусь за чашку, меня как током трахнет! сказал мальчик.

- Чай с вареньем - пожалуйста, - сказал Холодилин. - А чай с электричеством - это на любителя.

- Ну как хотите, - сказал хозяин. - Давайте слушать.

Он подошёл к рабочему столу и включил приёмник. Как у всех радиомастеров или любителей, приёмник у него был до ниточки разобран. Все лампы торчали наружу, динамик лежал отдельно, крышка стояла в углу. Но работал приёмник на славу. И радиопередача началась. Сначала передавали последние известия.

"Внимание, внимание! Рижский завод радиоаппаратуры увеличивает срок гарантии всех изделий на один год. Мастеров просят иметь это в виду...

Управление гарантийных человечков сообщает, что завод, производящий пылесосы "Уралец", закрывается на ремонт, Мастеров просят не покидать пока свои изделия и предупреждают, что микровертолёты за ними временно присылаться не будут...

К радиоприёмникам "Воронеж" выпущена магнитофонная приставка. В ней имеется мастерская. В рабочем столе добавочные инструменты и инструкция. Вход в приставку со стороны задней крышки рядом с пломбой. Просьба: гарантийным человечкам немедленно налаживать приставку...

О погоде. К сведению холодильных мастеров! По сведениям Института Прогнозов надвигается сильная жара. Не забудьте понизить температуру в морозильнике.

Человечкам из автогарантии рекомендуется усилить охлаждение двигателей. Жалюзи следует держать открытыми, а радиаторы очистить от мошкары. Гарантийным человечкам из лодочных моторов советуем следить за уровнем воды в реках и озёрах. Он может понизиться, и винт начнёт задевать о дно".

Потом радио стало передавать приветы от одних человечков другим. Рассказывать разные гарантийные случаи. В каком городе какой мальчик или девочка пытались разобрать какое изделие и что из этого вышло. И наконец диктор сказал:

"А сейчас мы начнём концерт по заявкам старых мастеров. Гарантийный мастер из рояля "Беккер" Иван Сергеевич Вальс просит исполнить по радио песню "В гарантийных хлебах затерялося". Эту песню он посвящает своему другу - часовому мастеру Ивану Ивановичу Буре. И просит вместе с песней передать поклон до земли и пожелания доброго здоровья. С удовольствием выполняем просьбу Ивана Сергеевича. Слушайте эту старую гарантийную песню".

При этих словах человечки так и подпрыгнули. Вот тебе раз: песня есть, а Ивана Ивановича нет! А приёмник запел:

В гарантийных хлебах затерялося Гарантийное наше село.

Горе нтийное по свету шлялося И на нас невзначай набрело.

Здесь беда приключилась стихийная, Мы такой не видали вовек.

У дороги, башка гарантийная, В пыль свалился чужой человек...

Наконец радио замолчало.

- Ты знаешь, это очень старая песня, - сказал Холодилин мальчику. Ведь раньше, в старину, никаких вертолётиков не было. Кончился твой срок, вылезай и шагай по дороге. Где на телеге, где пешком. А идти через полстраны приходилось. Или вообще за границу. Заводов мало было. Вот и устал мастер. Вот и упал. Хорошо ещё, что его заметили. А то бы беда была.

- Жалко, что Иван Иванович не слышал, - вздохнул Пылесосин. - Ведь песню-то для него пели.

- Ещё бы не жалко, - сказал Новости Дня. - А всё из-за некоторых! Не надо было Ивану Ивановичу за город ехать! Вот к чему приводит нарушение инструкции.

- Ладно, не причитай, - остановил его Холодилин. - Ещё не всё потеряно.

Глава восьмая. Буре в плену.

А у Буре дела были такие. В это утро его привезли на допрос в королевский дворец. Дворец был сделан из перевёрнутого ящика для посылок. На стене дворца красовалась надпись:

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., деревня ДОРОХОВО СМИРНОВЫМ.

Все буквы "О" были прогрызены насквозь, и получалось очень много круглых окошек.

Внутри было светло, потому что под потолком висела светящаяся гнилушка-люстра.

Королевским троном служило игрушечное кукольное кресло. Оно висело на четырёх верёвках, привязанных к потолку. Получался сразу и трон и качели. По стенам стояли игрушечные табуретки, шкафчики и диваны. Всё это мыши, наверное, потаскали у детей-растяп, которые отдыхали на даче прежде.

Вокруг трона стояли важные мышиные генералы, перепоясанные ремнями из колбасной кожуры. Они и начали допрос Ивана Ивановича:

- Сколько человечков приехало на дачу?

- Согласны ли они сдаться в плен и служить великому мышиному королю?

- Какие продукты хранятся в холодильнике и нельзя ли их быстро переправить в подвал?

- Привезли новые дачники с собой кошку или нет?

Иван Иванович спокойно и толково отвечал.

Человечков приехало много, и в плен они сдаваться не собираются. Продукты в холодильнике есть, и самые разные. Все их переправить в подвал нельзя - хозяева заметят. Но немного колбасы или сыра взять можно. Конечно, в обмен на него - Ивана Ивановича. Кошку хозяева с собой не привезли. Но это сейчас не проблема.

Если они узнают про мышей и про то, что мыши перегрызают провода, они возьмут кошку напрокат. В специальном кошкопрокатном ателье.

После этого генералы стали шушукаться с королём, хрустя колбасными ремнями. А Буре снова отвели на главную площадь и посадили в игрушечный детский автобус.

Там из него был сделан гарантийный зоопарк. Хочешь посмотреть - тащи кусочек сыра в королевскую продовольственную казну.

Глава девятая. Сосиска для разведчиков.

Вечером мама и Таня установили на кухне мышеловку. Таня сама несколько раз её опробовала. Она дёргала за крючок, и дверца захлопывалась.

Два раза девочке сильно прищемило палец, но это не расстроило её, а, скорее, даже обрадовало. Обрадовало вредную половинку - Яну. Потому что Юшечка вообще была против этой затеи.

Когда в квартиру пришёл сон, Яна заснула первой. Ей не терпелось дождаться утра и увидеть человечков в мышеловке.

А Юшечка никак не могла заснуть. Она всё время думала: правильно ли это - ловить человечков? И о том, как им плохо будет в этой клетке-мышеловке, пока их не достанут утром.

Так или иначе, девочка долго ворочалась в постели, и вечерняя жизнь в доме началась на полчаса позже, чем обычно.

Мастера сидели у Холодилина и пили простой, неэлектрический чай. И прислушивались.

Вдруг послышался шорох, потом радостный писк, беготня по полу.

Мышеловка захлопнулась.

- Попались, птички! - сказал Холодилин. - Пошли доставать. Это наверняка лейтенанты кавалерии.

Но это были не лейтенанты кавалерии, а два других мышонка.

Человечки выпустили их из мышеловки и повели к холодильнику. Новости Дня быстро сделал для них ошейники, привязал мышат к пружине под мотором и приступил к допросу:

- Фамилия? Имя? Отчество?

- Смирнов Андрей Андреевич! Смирнов Андрей Андреевич! - ответили оба мышонка.

- Вы что - братья?

- Нет. Просто у нас все мыши носят фамилию хозяев дома.

- А как же Мышкин и Подмышкин?

- Они из других домов. Они к нам приблудились.

- С каким заданием шли? - продолжал допрос радиомастер.

- Разведка и диверсия!

- Диверсия и разведка!

- Какая диверсия?

- Добыть у хозяев тюбик клея и намазать пол у холодильника. Смотреть, не приклеиться самим и ждать гарантийных.

- Ловко, - сказал Холодилин. - Надо это нам самим использовать.

- А как там наш Буре? - спросил мальчик.

- Пожилой гарантийный? Нормально, - ответили Андреи Андреевичи. - Из него зоопарк сделали.

- Как зоопарк?

- Очень просто. Его в автобус посадили около главной площади. Хочешь посмотреть - тащи кусочек сыра.

- А если мы захотим обменять его на вас, как ваше начальство посмотрит?

- Плохо посмотрит. Ведь он доход приносит. А мы - нет.

- Кому доход?

- Его величеству королю!

- Ну ладно, - сказал Холодилин. - Есть хотите?

- Смешно, - отвечали мышата. - Ещё как!

- Что вам дать - сосиску или сыр?

- Сыр и сосиску! Сосиску и сыр! - отвечали бравые Андреи Андреевичи.

- Ничего себе! - удивился радиомастер. - Они наши враги, а мы их будем сосисками кормить, как в санатории.

- Так надо, - сказал Холодилин. - У меня есть соображения. И потом, уж больно ребята они симпатичные.

- И весёлые, - добавил Пылесосин.

- Так точно, - сказали мышата. - Мы симпатичные. И весёлые.

Холодилин вытащил небольшую сосиску и положил перед пленниками. Они быстро стали уплетать её, каждый со своей стороны. Не прошло и пяти минут, как они упёрлись носиками друг в друга. А от сосиски ничего не осталось.

- Ну, всё, - сказал Холодилин. - А теперь в путь, за щёткой.

Он поднялся в комнату и принёс вниз два небольших баллона с пульверизаторами.

- Это тебе, - сказал он Пылесосину. - На всякий случай. Баллончик с гелием.

Хорошая штука. В случае нападения применишь. Кран откроешь - из него газ, как из огнетушителя. Только холодный. Сразу зима вокруг на целый метр. Хоть шубу надевай. Хорошо охлаждает горячие головы. А это нам с тобой, - сказал он радиомастеру. - Здесь краска под давлением. Не завидую я тому, кто на нас нападёт. Хоть в химчистку его отдавай по квитанции.

После этого старшие мастера отправились в путь, а мальчишка забрался в комнату Холодилина и улёгся спать.

Мышата остались внизу, под холодильником.

Глава десятая. Антихулиганный механизм имени Кабытова.

Как только в комнате все затихло, к холодильнику подобрались два новых разведчика. Кажется, это были Мышкин с Подмышкиным.

- Эй, вы, попались? - спросили они.

- Попались, - отвечали пленные через щель.

- Держитесь?

- Держимся.

- Хорошо. Мы вас скоро выручим.

- Не-а, не надо, - ответили пленные. - Пусть так будет.

- Почему?

- Нам сосиску дали.

- Чего? - поразились новые разведчики. - Отравленную?

- Нормальную.

- А я ни разу в жизни сосиски не ел! - грустно сказал мышонок поменьше.

- "Не ел"! Я даже не видел! - плохим смехом засмеялся второй. - Она какая?

Квадратная? С дырочками?

- Нет. Длинная и круглая, - ответили пленные. - А в середине вкусная.

Оба новых разведчика были поражены невероятно и побежали назад в норку докладывать обстановку.

Именно этого и добивался Холодилин. Он очень хотел, чтобы слухи о сосиске как можно скорее проникли в ряды вражеской армии.

Иногда масло делает больше хороших дел, чем пушки, а сосиски действуют лучше листовок.

В этот раз дождя не было, и поход мастеров к телефонной будке был более приятным. Холодилин даже запел:

Мы лучшая гарантия, И про нас Наука хиромантия Ведёт рассказ.

- При чём тут хиромантия? - спросил Новости Дня. - Это же такая наука, которая по руке узнаёт всё о человеке.

- Правильно. По нашим рукам сразу же можно сказать, что мы мастера. И кажется, неплохие. Плохо только, что в некоторых из нас мастер стоит на первом месте, а человек - уже на втором.

- Ладно, ладно, - сказал Новости Дня. - Прошу без намёков. Из-за твоей человечности уж сколько раз мы правила нарушили. Да и сейчас у нас положение не из лучших. Снизу мыши донимают, сверху - девочка. Неизвестно ещё, чем всё это кончится.

Слава Кабытов, а по-служебному Ноль Один, ждал их.

- Что это вы не появляетесь? Я уж было сам хотел вам щётку нести.

- Ни в коем случае. У нас там такие события! Наверное, нам придётся уходить.

Они рассказали ему спою историю.

- Позавидуешь вам, - сказал Кабытов. - У вас хоть интересно. А я здесь как в консервной банке сижу. Но ничего, я опять придумал, как с хулиганами бороться.

- Ну и как?

- Очень просто. Делается такое устройство в замке. Если кто-то автомат ломает, замок срабатывает и запирается. А утром милиция ходит и нарушителей, как грибы, собирает. Здорово?

- Неплохо, - сказал Холодилин. - Только если нарушитель поздоровее окажется, он к утру не только автомат, но и всю будку разнесёт. И собирать будет нечего.

- Тьфу ты! - расстроился Кабытов. - Куда ни кинь, всюду клин! Да только я всё равно придумаю. Будет он, обязательно будет "Антихулиганный механизм имени Кабытова"!

Домой мастера добрались без приключений уже к самому рассвету.

Первым делом они затащили щётку в холодильник.

- Ты где ночевать будешь? - спросил Холодилин радиомастера. - У себя или у нас?

- У себя, конечно. Сейчас время летнее, какой-нибудь мотылёк в приёмник залетит или жук залезет - они там дел наделают! Глаз да глаз нужен.

- Только осторожнее иди. По сторонам посматривай. - И Холодилин передал радиомастеру баллончик с краской. - Смотри, чтобы ты у нас не пропал. Нам только этого не хватало.

Глава одиннадцатая. Мышкин Подмышкина везёт.

Утром мышеловка была пуста. Приманка на месте, и мама успокоилась:

- Слава богу! Мышей нет.

Но девочка Таня и не думала успокаиваться:

- Ну и что, что мышей нет. Я про мышей и не говорю. Я про человечков говорю. А они в мышеловку не пойдут. Я знаю, что делать. Я, мама, зубной порошок в кухне насыплю. Если человечки есть, они следы оставят.

- Так я тебе и разрешила! - сказала мама. - Я каждый день полы мою, а ты будешь мусорить.

- Мамочка, ну только один раз. Я потом уберу!

- Ну, если уберёшь, попробуй. Только весь пол пачкать не надо. Сделай дорожку из угла в угол. И подметать легко, и если человечки есть, они обязательно следы оставят.

- Ура! - закричала девочка.

- Но ты весь день будешь вести себя хорошо. Иначе никаких дорожек.

- Конечно, конечно, мамочка! Давай мне скорее кашу!

- Ничего себе! - ахнул Новости Дня. Он сидел в комнатке, внутри приемника, и поэтому слышал весь разговор. - Дело пахнет керосином. Эта девочка пас в покое не оставит. Я думаю, нам пора уносить ноги.

Дело действительно принимало плохой оборот. Гарантийным человечкам категорически запрещалось показываться па глаза детям. Не каждый взрослый знал про них. Только главные специалисты заводов и фабрик. А чтобы про них узнали дети, нельзя было допускать ни в коем случае. Поэтому как только хозяева ушли из дома, радиомастер сломя голову помчался к Холодилину:

- Караул! Знаете, что девочка придумала?

- Что?

- Она дорожку из порошка на кухне насыпать хочет. Чтобы мы на ней следы оставили.

- Плохо! - сказал Холодилин.

- Ещё как! - закричал Новости Дня. - Если девочка нас найдёт, представляете что будет? Она станет нас укладывать спать, возить в коляске, кормить пирожными из песка! Забинтовывать, мазать зелёнкой и мерить температуру с утра до вечера!

Пылесосин согласно кивал головой, а Холодилин помалкивал.

- А если она подарит нас какому-нибудь мальчику? Он станет таскать нас в карманах! Менять на перочинные ножи! Заставит плавать на самодельных кораблях!

Превратит в солдатиков! А я не хочу, не желаю!

- Да и я, - согласился Холодилин, - не очень желаю.

- Значит, мы должны немедленно уходить на свои заводы!

- А как же Буре? - спросил Холодилин.

- Не знаю как, - ответил радиомастер. - Только нельзя, чтобы из-за одного человека пропали все. Все важнее одного - таков закон.

- Это неправильно! - сказал Холодилин.

- Почему? - удивился Новости Дня.

- Действительно, почему, дядя Холодилин? - вмешался и мальчик.

- Очень просто, - стал объяснять мастер. - Сначала вы считаете, что все важнее одного. Потом считаете, что большинство важнее меньшинства. А дальше у вас получится, что половина всех важнее половины всех.

- Так уже не получится, - сказал Новости Дня. - Половина всех равна половине всех.

- Это только на словах, - объяснил Холодилин. - А если одни привыкли считать себя главнее других, они так и будут считать себя главнее, даже если их станет меньше. И в конце концов у вас выйдет, что не все важнее одного, а один, самый важный, важнее всех остальных.

- Это всё разговоры, - сказал радиомастер.

- Никакие это не разговоры, - возразил Холодилин. - Вспомни Великого Трансформатора и войну 127 на 220.

Но тут разговор мастеров был прерван, потому что в кухне послышался какой-то шум. Человечки высунулись в щели, и Холодилин закричал:

- Ого-го! Что я вижу... Мышкин Подмышкина везёт!

- Всё правильно, - послышался голос в ответ. - Только всё наоборот. Я-то наверху!

К ним приблизились старые знакомые с белым флагом. Причём один сидел верхом на другом.

- А почему так? - спросил Холодилин.

- Разжаловали его, - объяснил высокий лейтенант, который сидел в седле. - Перевели из лейтенантов в кавалерию. Судьба играет офицером. Кому не везёт, тот возит сам.

- За что же тебя так понизили? - спросил мальчик у мышонка.

Мышонок-лошадь грустно пожевал колбасные ремни, потупил глаза и со вздохом произнёс:

- Откусил. Вот за что.

- Что откусил?

- Колбасу, которую мы у вас захватили. Велено было не кусать доставить живьём.

А я не доставил.

- Я вижу, у вас суровые порядки, - сказал Холодилин.

- А как же! - согласился верховой лейтенант. - Армия у нас, у мышей, это сложное дело. У нас это дом отдыха, где всё делается по команде "бегом".

- Ну, а с чем вы пожаловали? - спросил радиомастер. - И почему средь бела дня?

- А вот с чем, - ответил лейтенант. - Мы пришли заявить страшный протест. Почему вы поступаете не по-военному? Почему вы кормите пленных сосиской?

- А что? Что в этом плохого?

- А то. Слухи об этом проникли в наши ряды, и теперь вся армия собирается сдаваться в плен. Какой смысл переносить лишения, идти в атаки и питаться старым сапогом, когда у противника запросто выдают сосиски? Видите ли в этом какую-нибудь толковость?

- Не видим.

- И я не вижу. И все не видят. И поэтому мы категорически требуем пленных не кормить! Никаких сосисок! Никаких колбас! Корочка хлеба, немного воды. И то через день! Хватит с них, а то полопаются!

- А если мы не выполним ваши условия? - спросил Холодилин. - Если мы им, например, сала дадим? Тогда что?

- А у вас есть?

- Есть, конечно.

- Тогда не знаю что. Это нарушение всяких правил! Это военное преступление! Вся наша армия разбежится. И будет права. Желудок солдата важнее головы полководца.

- Ну вот что! - пресек его Холодилин. - Если нам вернут мастера, мы дадим за него выкуп - колбасу, сахар. А если не вернут, вам будет плохо. Мы пустим в ход мышеловки, электричество и даже всемирные потопы.

- Это как? - спросил лейтенант.

- А так, - объяснил Новости Дня. - Опустим один конец трубки в ведро с водой, а другой к вам в нору. И будем ждать, пока вы, мокренькие, к нам в руки попрыгаете.

- Ясно, - сказал Мышкин. - Придётся нам морской флот организовывать. Лодки из картошек выгрызать.

- Что хотите выгрызайте, хоть авиацию! - сурово ответил Холодилин, Только чтобы Буре был у нас завтра к вечеру!

После этого мышата в задумчивости удалились.

Глава двенадцатая. Великий Трансформатор.

- Ну так что, - спросил Холодилин у радиомастера, - будешь ты немедленно уходить?

- Буду. - Счастливого пути! Только никуда-то ты не уйдёшь, как мне кажется.

- Это почему ещё? - удивился радиомастер.

- Да потому, что тебя зовут не только Новости Дня, но и Говорит Москва. А это ко многому обязывает... Я уже молчу, что у тебя радиола не работает.

Радиомастер схватился за голову:

- А ведь верно! А ведь верно! И как это я забыл?! И он в волнении стал расхаживать из угла в угол холодилинской комнаты.

- Дядя Холодилин, - вдруг спросил мальчик, - а что это за война такая 127 на 220? Я про неё ничего не слышал.

- Сейчас расскажу, - ответил Холодилин. - Одну минуточку... Слушай обратился он к радиомастеру, - будь добр, возьми дрель и проверни несколько дырочек в полу. Надо узнать, что там у них делается.

Новости Дня взял дрель и вышел из комнаты. А Холодилин начал рассказ:

- Раньше, лет двадцать назад все телевизоры, холодильники и другие приборы выпускали на напряжение 127 вольт. А потом начали выпускать и на 220. Понятно тебе?

- Чего ж тут непонятного? - ответил мальчик.

- Сначала гарантийных человечков на 127 было много. Они считали себя главней. И радиопередачи делали для себя, и паяльники, и утюги. Только мастеров на 220 становилось всё больше. Всё больше. И те, которые на 127, в конце концов остались в меньшинстве. Но они уже привыкли считать себя важнее и ни в чём не уступали. Тогда и началась война. В каждом доме, на каждом заводе! Сколько пленных было захвачено, сколько разных поломок организовано - целую книжку можно написать.

- А кто такой Великий Трансформатор? - спросил мальчик.

- Был такой предводитель у 220-ти. Очень умный человек. Это он предложил создать Управление гарантийных человечков, а в нём два отдела 127 и 220. И в каждом городе или посёлке есть свои управления. Даже на больших кораблях и самолётах.

Кого в данном управлении больше, те и командуют.

- А что стало с Великим Трансформатором?

- А ничего. Работает где-то. Может, в стиральной машине. Может, в полотёре. Он человек скромный. Прекратил войну и работать ушёл. Только памятники ему всё равно стоят почти в каждом доме.

- Это как? - удивился Пылесосин.

- Да очень просто. Есть такие приборы - трансформаторы. Они могут преобразовывать напряжение, 127 переделывать на 220, а 220 - на 127. Знаешь про них?

- Конечно, знаю. Мы в мастерской проходили.

- Так вот эти трансформаторы и считаются памятниками тому мастеру.

- Красивая история, - сказал мальчишка. - Её просто можно друзьям дарить на день рождения. В это время в комнату вошёл Новости Дня. - Готовы дырочки, - сказал он. - Можно идти смотреть. - Мастера отправились вниз.

Глава тринадцатая. Мотор королевского автомобиля.

Над главной площадью королевства взошло полосатое солнце. Осветило пол, норки и королевский дворец.

Буре выглянул в окно своего автобуса-зоопарка и увидел, что в королевстве не всё в порядке. По площади туда-сюда разгуливали толпами мышата. У каждой группы был свой лозунг на палочках. Мальчик с удивлением читал:

НЕ ХОТИМ СРАЖАТЬСЯ, А ХОТИМ СДАВАТЬСЯ.

ПОТОМУ ЧТО СОСИСКИ ВКУСНЕЕ СНАРЯДОВ!

ДОЛОЙ ПОРОХ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТВОРОГ!

КАКОЙ ЖЕ ОН АГРЕССОР, ЕСЛИ ОН ПРОФЕССОР!

ЗА КАЖДОГО ГЕНЕРАЛА НАМ ДАДУТ КУСОЧЕК КОЛБАСЫ ИЛИ КУСОЧЕК САЛА!

Были лозунги и попроще, без выкрутасов. Такие, как, например:

МЫ ХОТИМ ДРУЖИТЬ С ГАРАНТИЙНЫМИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ МОЛОДЦЫ И ВСЁ УМЕЮТ.

ЕСЛИ ОН ГАРАНТИЙНЫЙ, ЭТО ЕЩЁ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОН ВРЕДНЫЙ И ПРОТИВНЫЙ!

Тут на игрушечном автомобильчике подъехал король. Его окружили конные, а вернее, мышиные генералы кавалерии, перетянутые ремнями из колбасной кожуры. Король выбрался из автомобиля и сказал ему:

- Поезжай на стоянку и жди меня там.

Как ни странно, автомобильчик развернулся сам и поехал к автобусу, где сидел Буре. А на площади поднялся невероятный шум и начался митинг. Король вышел на трибуну и стал говорить:

- Дорогие мыши и сограждане! В наших рядах появились отдельные отступники и изменники! И их большинство! Они узнали, что противник живёт хорошо, и решили, что они должны жить не хуже! Иначе как предательством это не назовёшь. Сосиски - разве это в жизни главное! Даже я могу обойтись без них! А вы-то уж и подавно! В Первую очередь мы должны завоевать гарантийных!

- А зачем? Для чего? - закричали из толпы.

- Если мы завоюем их, это будет наша победа! Понятно вам? А вы говорите - сосиски. Смешно! Ура!

Но население молчало. Никто не закричал "ура". Если не считать нескольких генералов.

- Ну ладно, - сказал король. - Я вижу, мнения разделились. И теперь перед нами стоит один вопрос: королевство или колбаса? Колбаса или королевство? Это мы должны сейчас решить. Кому важнее королевство, пусть идёт направо. Кому колбаса - налево!

Площадь зашумела и стала думать. А Буре вдруг услышал чей-то голос:

- Эй, гарантийный! Ты меня слышишь?

- Кто это?

- Это я. - Из-под машины вылез маленький белый мышонок. - Я - Вася.

- Что ты там делаешь?

- Я - мотор. Одна лошадиная сила. Я машину завожу.

- Разве нельзя заводить её ключом? - спросил Иван Иванович.

- Можно. Но тогда у меня работы не будет. Я нарочно не говорю королю про ключ. А сам он в технике ни бум-бум!

- А ты бум-бум?

- Конечно. Я ведь во Дворце пионеров жил. В живом уголке. Потом сбежал и по разным кружкам бегал, где технику учат.

- А как ты сюда попал?

- Случайно. Я в самолёт залез с моторчиком. Спать. А его утром запустили. Вот меня сюда ветром и принесло. Теперь я здесь живу.

- А хочешь к нам?

- Ещё бы! Возьмёте меня?

- Только ты мне помоги выбраться.

- И помогать нечего. Я думаю, вас и так отдадут. Видите, сколько здесь из-за вас беспорядков получилось.

В это время на площади закончилось деление мышат на тех, кому дороже колбаса, и на тех, кому - королевство. Колбасных оказалось десять. Сторонников короля - двенадцать. Среди них четыре верховых генерала.

- А лошади? - спросил Иван Иванович. - Что, они не считаются?

- Считаются, - ответил мышонок. - Только как им быть? На них же генералы сидят.

И тут белого мышонка осенило. Он открыл багажник автомобиля и вынул стеклянный наконечник от пипетки. Для кого-то это был наконечник, а для мышонка - горн-труба. Он поднял голову и затрубил: та-та-та-та! Та-та-та-та!

Это был мышиный королевский гимн. И все мышата стали вставать на задние лапы и вытягиваться во весь рост. Генералы попрыгали с коней и вытянулись в струнку. То же сделали и кони. И все запели:

В лесу родилась ёлочка, В лесу она росла, Зимой и летом стройная, Зелёная была.

- Странный у вас гимн, - сказал Буре.

- Это я предложил. Лучшая песня. В Новый год её дети поют. Много шума, веселья.

Много конфет на полу остается.

Но, наверное, не все мышата хорошо знали слова своего гимна. Потому что некоторые пели так:

В трусишках зайка серенький Под ёлочкой скакал.

Порою волк, сердитый волк С овцою пробегал.

А вместо "Мороз снежком укутывал: "Смотри не замерзай!.." доносилось: "Матрос с мешком запутывал: "Смотри не вылезай!.."

А пока ёлочка жила в лесу, пока скрипел снег по лесу "частному" и бежали всякие "лошадки мокроногие", мышиные лошади незаметно, шаг за шагом переходили па колбасную сторону. В результате счёт окончательно и бесповоротно изменился в сторону колбасы.

- Поздравляю! - сказал белый мышонок Ивану Ивановичу.

- Ура! - закричал тот.

И мастера тоже немного успокоились. Они ушли в комнату.

- А всё-таки эти мыши не такие уж вредные, - сказал Пылесосин.

- С ними бы не воевать, а к делу их приучать, - согласился Холодилин. Ну хотя бы как Машку.

- Часы с Машкой - хорошо, - сказал Новости Дня. - А часы с мышкой чушь какая-то!

Машка услышала, что про неё говорят, высунулась из буфета, в котором жила, и давай куковать! Все так па неё и набросились:

- Ты что, с ума сошла?

- Кыш!

- Раскуковалась тут!

- То кукуй, то не кукуй! - рассердилась Машка. - Толку от вас!

За последнее время Машка отоспалась, отдохнула, помолодела и стала просто очень хорошенькой кукушечкой. Она даже пробовала летать. И всё время к чему-то прислушивалась. С другого конца деревни иногда прилетало сюда кукованье. Одно "ку-ку", или два "ку-ку", или целых двенадцать. И непонятно было, то ли это живая кукушка научилась куковать по часам, то ли это часовая кукушка научилась куковать не хуже живой. Размышления на эту тему занимали всё Машкино время и весь не такой уж большой Машкин разум.

Глава четырнадцатая. Конная гарантия.

А девочка Таня решила в этот день перевернуть весь дом в поисках человечков. И начала она сверху, с чердака.

На чердаке темно и пыльно. Стоят разные интересные и неинтересные вещи. А на них отпечатались жёлтые солнечные квадраты от окна и двери.

Девочка открывала дверцы старых шкафов, поднимала крышки чемоданов. Нет ли где маленького домика? А в домике маленького столика? А за столиком маленьких человечков? И пыль стояла столбом!

- Ну где же вы? - спрашивала девочка. - Апчхи!.. Но человечков не было.

- Человечки, пчхи-ловечки! Я вам ничего плохого не сделаю, я только поиграю с вами и пчхи-подружкам покажу... Не прячьтесь! Хорошенькие человечки!

Но человечков по-прежнему не было видно. Зато карманы девочки с каждой минутой наполнялись интересными вещами. Она нашла старинный замок, керосиновую лампу, потом колокольчик. Потом ручку от патефона. Потом какую-то металлическую штуку в промасленной бумаге. И многое, многое другое.

До чего ж она упрямой была, эта девочка! С таким упорством можно в пятнадцать лет академиком стать, если так Же уроки учить.

Вечером она расчертила всю кухню на квадраты. Дорожки из зубного порошка превратили веранду в страницу из тетради по арифметике.

- Да брось ты... - говорила мама. - Лучше бы почитала букварь. Нет никаких человечков!

- Есть, - ответила Яна. - Ещё как есть. Вот мы утром увидим.

Мама, конечно, могла запретить девочке. Но из-за этих человечков Таня вела себя хорошо: и спала, и ела, так что мама не стала спорить. Тем более, девочка обещала, что сама уберёт дорожки и даже вымоет пол.

Когда в квартире все заснули, Холодилин сказал радиомастеру:

- Ну что, пойдём к тебе щётку ставить?

- Пойдём, и немедленно, - отвечал Новости Дня. - Счастье наше, что радиолу до сих пор не включали.

Мастера взяли инструменты, щётку и пошли к выходу.

- А ты сиди и никуда ни шагу! - сказал Холодилин мальчику. - Может, сегодня Буре приведут.

Освещая путь фонариком, оба мастера двинулись от холодильника к приёмнику.

Холодилин нёс щётку на спине, держа её обеими руками за проволоку, как крестьяне носят мешки с зерном.

- Стоп! - вдруг сказал радиомастер. - Ты видишь?

Путь преградила дорожка из зубного порошка. Они пошли в обход. Но и с другой стороны путь пересекла такая же дорожка.

- Не пройти, - сказал Новости Дня. - Попались... Вот упрямая девочка!

- Дела! - согласился Холодилин. - Делишки! Может, нам ходули смастерить, чтобы через них перешагивать?

- Придётся, - сказал Новости Дня. - Если ничего другого не придумаем.

Мастера вернулись в холодильник.

- Только пока мы их сделаем, полночи пройдёт! - сокрушался радиомастер. - Успеем ли? И тут осенило Пылесосина:

- А вы на мышах поезжайте. Чего они зря простаивают? Пусть и у нас будет кавалерия.

- Это мысль! По коням!

Новости Дня быстро смастерил из тонких проволочек уздечки, из клейкой ленты - сёдла, а из гаечек - стремена.

- Эксплуататоры! - возмущались Андреи Андреевичи. - Угнетатели! Ну ничего, ничего! Это вам обойдётся в два лишних кружка колбасы. На печенье мы ни за что не согласимся!

- А тебе задание важное есть, - сказал Холодилин мальчику. - Нужно подземный ход проделать. Боюсь, он нам скоро понадобится. Ну и всё. Привет. Будь осторожен.

Пылесосин принялся за работу.

Ж-ж-жжжжжж! - жужжала электрическая дрель в руках мальчика. Он сделал дырочки в полу. А потом маленькой пилкой пропиливал дорожку от дырочки к дырочке. Через некоторое время люк был готов. Мальчик отвернул выпиленный круг и лёг на пол, чтобы посмотреть вниз. И тут из дыры показались беленькие усики, и наружу выбрался мотор королевского автомобиля - мышонок Вася.

- Привет, гарантийные! - сказал он. - Я к вам. Плохо дело. На вас нападение готовится!

А мастера в это время работали. Хорошо, что они были вдвоём. Одному такую трудную работу ни за что бы не сделать. Новости Дня изо всех сил оттаскивал ленточную пружинку. А Холодилин ставил угольную щётку в гнездо. Наконец она щёлкнула и стала на место.

- А теперь надо твою комнату разобрать на всякий случай, - сказал Холодилин. - А то вдруг придётся уходить. Надо, чтобы никаких следов не оставалось.

- Я вижу, что некоторые не только нарушать инструкции умеют, но и соблюдать иногда, - съехидничал радиомастер. - Ты комнатой займись. А я всё остальное проверю. Чтобы тут и без меня всё работало. Ведь срок гарантии у меня ещё не кончился.

Они занялись делом. Новости Дня осматривал радиолампы, сопротивления, всевозможные катушки и конденсаторы. Что-то очищал от пыли, что-то заменял. А Холодилин разбирал панели комнаты. Отвинчивал мебель и подавал радиомастеру. И всё это незаметно распределялось внутри приёмника.

Самовар превратился в колпак радиолампы, красная тахта - в изолирующую прокладку под мотор, а стол и степные панели - в крышки для трансформатора высокого напряжения.

Мастера последний раз оглядели комнату и спустились вниз на пол, где ждала их мышиная кавалерия, привязанная к ножке стола. Верхом на мышах они вернулись в холодильник.

- Вы слышали? - встретил их мальчик. ~ На нас нападение готовится.

- Ещё новости! - сказал Новости Дня. - Что за нападение?

- А вот послушайте. - Пылесосин познакомил их с мышонком, и Вася начал рассказ.

Глава пятнадцатая. Вперед - За колбасой!

Да, Пылесосин радовался рано. В тот момент, когда сторонники колбасы победили, король снова вскочил на трибуну.

- Так, значит, дорогие сограждане, для нас важнее колбаса?

- Точно!

- Так завоюем гарантийных! - закричал король. - У них сколько хочешь колбасы! И вся она будет наша! Ура!

- Ура! - закричали сограждане.

- Вперёд! - закричал лейтенант кавалерии Мышкин. - К оружию! За колбасой!

- Вперёд! За колбасой! - подхватили все. Удивительно это получилось. Только что никто не хотел воевать, и вдруг оказалось, что все за войну. Почему, так никто и не понял.

- Так что, гарантийные, готовьтесь, - закончил свой рассказ мышонок. А я не хочу против вас воевать.

- Слушай, - спросил Холодилин, - кто у вас там такой толковый? Кто про клей придумал? И провода перегрызать?

- Я придумал. Я немного в технике разбираюсь.

- Спасибо, - сказал Новости Дня. - Очень ты нас порадовал.

- А в какой технике? - спросил Холодилин. - В механике или в электричестве?

- Ив механике, и в электричестве. Я во Дворце пионеров жил.

- А в часах разбираешься?

- Нет. Совсем нет.

- Выучиться хочешь?

- Ещё как! - сказал мышонок. - Да здравствует его величество король! То есть нет, наоборот: пусть ему кошка приснится!

- Ну что, вперёд? - спросил Новости Дня. - Ивана Ивановича выручать! Мне кажется, мы должны напасть первыми.

- Ни в коем случае, - сказал Холодилин. - Сейчас не пойдём. Мыши в темноте хорошо видят, лучше кошек. И мы пропадём. Дождёмся утра. А сейчас давайте мою комнату разберём и вещи сложим.

Комната была быстро разобрана.

- Отлично! - сказал Холодилин. - Теперь займёмся оружием... У тебя что? - спросил он Новости Дня.

Радиомастер извлёк из рюкзака металлический бочонок.

- Конденсатор заряженный. Если эти проволочки поднести к кому-нибудь, так трахнет - закачаешься!

- Отлично. А у тебя что? - спросил Холодилин мальчика.

- У меня ничего, - сказал Пылесосин. - Разве вот это. Он показал что-то завернутое в промасленную бумагу.

- Что это?

- Запасная пружина к часам. Скрученная.

- Откуда?

Пылесосин опустил глаза.

- У хозяйской девочки стащил.

Вот еще! - ахнул Новости Дня. - Зачем?

- Для Ивана Ивановича. Хотел ему подарок сделать. Может, девочка не заметит.

- Как же, не заметит! - сказал радиомастер.

- Час от часу не легче!.. - заметил Холодилин, и наступила сердитая пауза. - Ладно, делать нечего, - продолжил холодильный мастер. - Но если об этом узнают в управлении, нам здорово нагорит!

- Может, положить на место? - спросил Пылесосин.

- Теперь уже поздно. Только хуже будет, - сказал Новости Дня.

- Ладно, - сказал Холодилин. - Может, обойдётся. А сейчас всем спать. До рассвета у нас есть ещё несколько часов.

Его комната была разобрана. Ни диванов, ни кроватей. И все улеглись на полу, положив под голову рюкзаки с инструментами и оружием. Рядом тепло посапывали два пленных Андрея Андреевича.

Глава шестнадцатая. Лучшие зубы королевства.

Мастера были во всеоружии.

- Всё! - сказал Холодилин. - Теперь вперёд! Посмотрите, мы ничего не забыли? - Он стал поднимать крышку люка.

- Боюсь, вас там схватят, - предупредил белый мышонок.

- Могут, - кивнул Холодилин. - А мы вот как сделаем... Эй, парень, давай твою пружину.

И все поняли, что задумал мастер.

Пылесосин вынул из рюкзака тяжеленный свёрток. Что-то промасленное и крепко перевязанное проволокой.

Раз! - и свёрток полетел вниз, в подвал.

- А теперь ждём.

Внизу под люком сначала всё было тихо. Потом послышался торопливый топот ног. И голоса.

- Это я нашёл! Я первый увидел! - кричал мышонок Подмышкин. Ему очень хотелось уйти из кавалерии и снова стать лейтенантом.

- Нет, я! - спорил лейтенант Мышкин, который всей душой рвался в генералы. Для убедительности он даже встал на свёрток, как на пьедестал.

- Нет, это мы нашли! - кричали два каких-то колбасных генерала.

Все больше и больше мышей собиралось на площади. Суматоха и шум росли.

И вот прибыл король. Все разошлись и уступили ему дорогу к свёртку.

- Ваше величество, - сказал Мышкин, - эта штуковина упала сверху. И она вся промасленная.

- Что с возу упало, то пропало. Так говорит народ, - заявил король. - А у меня пока ещё нет оснований ему не доверять.

- Кому вы поручите торжественно перегрызть проволочку? - спросил Мышкин.

- Я сам её перегрызу, - отвечал король. - Мои зубы, пожалуй, самые лучшие в королевстве.

- Не завидую я его зубам, - грустно сказал Холодилин. - Такие пружины делались из лучшей немецкой стали.

Послышался звук, будто кто-то пилил металлом по металлу. Потом раздался ужасный звон и треск. И пружина плеснула во все стороны.

Она раскручивалась всё больше и больше по площади, и кругами разбегались и разлетались во все стороны рядовые и генералы колбасной армии.

- Вперёд! - сказал Холодилин. Он сбросил в люк кусок проволоки, и мастера заскользили вниз, как пожарные при пожаре.

Главная площадь мышиного города была пуста. Никого.

Только Иван Иванович что-то радостно кричал из автобуса. Мастера выпустили его, обнялись и с огромным трудом скрутили немецкую пружину.

- Ну как местная публика? Вредный народ? - осведомился Холодилин.

- Нет. Бестолковые они, а так ничего. Кормили меня, здоровались. Если бы не их король, с ними можно ладить. А вы почему с рюкзаками?

Ему рассказали обо всём, что случилось за это время наверху.

- Значит, уходим? - спросил Буре.

- Да. И как можно скорее, пока местные умы не расчухались.

- А Машка где?

Холодилин хлопнул себя по лбу:

- Забыли! Я сейчас.

Он стал карабкаться вверх по проволоке. Обратно в люк. Остальные ждали его внизу.

- Нет Машки! - через некоторое время высунулся Холодилин. - Я всё обыскал.

Пропала!

- Без Машки я не пойду, - упёрся Буре. - Хоть вешайте.

- Иван Иванович, - сказал Пылесосин, - нам надо уходить. Там, наверху, нас девочка разыскивает, а здесь - мыши. Пропадём мы.

- А я без Машки пропаду... - Буре так расстроился, чуть не плакал.

- Эй, - крикнул Холодилин радиомастеру, - что будем делать?

- А ничего, - отвечал Новости Дня. - Надо было раньше думать. А сейчас он прав.

Нельзя ему без кукушки в город.

- Тогда подымайтесь сюда. Решать будем. Один за другим гарантийные человечки поднялись в холодильник.

Мышонок Вася последовал за ними.

- Нам бы где-то спрятаться надо, - сказал Холодилин. - Чтобы девочка нас не нашла. И переждать.

- А где ты от неё спрячешься? - сказал Новости Дня. - Она такая настырная. Хоть на люстру залезай!

- А что? - задумался Холодилин. - Это мысль. Можно и на люстру.

- А как? - спросил Пылесосин.

- А так! - отвечал Холодилин. - Присоски на что? Он вытряхнул из рюкзака резиновые присоски.

- По очереди и полезем. Один залез и другому сбросил.

- А хозяева? - сказал Буре. - Вдруг они нас заметят! Смотрите, уже совсем светло.

- Не заметят, - возразил Холодилин. - Утренний сон самый крепкий. Первым полезет Пылесосин. Затем Буре. А потом мы с радиомастером. А тебе, Вася, - обратился он к белому мышонку, - поручение будет важное. Ты здесь все ходы и выходы знаешь.

Разведай, куда Машка пропала. Машка - это кукушка из часов.

- А что с пленными делать? - спросил Пылесосин про Андреев Андреевичей.

- А ничего. Дать им колбасы вдоволь, и пусть идут. Не будете спорить? спросил он у мышат.

- Мы что, больные? - ответили Андреи Андреевичи. - Или шлёпнутые? Мы вам тоже про Машку будем узнавать. Потому что вы нам понравились.

Пылесосин, перебирая присосками, как ящерица геккон, забирался вверх по стене, а потом пополз по потолку.

Вот он добрался до люстры, уселся на краю, отстегнул присоски и сбросил их вниз.

Следом полез Буре, затем Новости Дня.

Последним на люстре оказался холодильный мастер.

- Порядок! - сказал Холодилин.

- Вот теперь, - сказал радиомастер, - мы как раз и попали в ловушку.

- Это почему еще?!

- А потому. Как же мы слезать отсюда будем?! Вверх же мы присоски не забросим!

Мастера, как по команде, схватились за головы:

- Караул!

Ситуация была более чем неприятная.

Глава семнадцатая. На люстре.

Утром Татьяна внимательно исследовала все меловые дорожки.

- Мама, мама! Иди сюда. Есть человечки! Есть человечки! Вот, пожалуйста, они следы оставили!

- Как так следы? - спросил Холодилин радиомастера. - Ты что, слезал с лошади?

- Нет, не слезал. Просто мой мышонок пониже. И я, наверное, ногами задевал.

- Мышиные лапки я вижу, - с тревогой сказала мама. - А насчёт человечкиных следов сомневаюсь.

- А я не сомневаюсь! - кричала девочка.

- Глупость всё это! - сказала мама. - Я тридцать лет на свете живу, а ничего подобного не слышала. Вот котёнка я тебе, пожалуй, подарю.

- И котёнок хорошо! И человечки хорошо! - танцевала девочка. - Я их теперь обязательно найду. Они где-то около холодильника прячутся.

- Ты сначала позавтракай, - сказала мама. - И подумай ещё: стоит ли их ловить, раз они от тебя скрываются?

И девочка сразу погрустнела:

- Ты знаешь, мамочка, наверное, не стоит. Мне просто на них посмотреть хочется, как они там живут. Я даже сама не знаю, откуда во мне такое ловительство. Я посмотрю на них и отпущу.

Всё-таки вредная половинка Яна не всегда брала верх. Юшечка тоже могла говорить своё слово.

Гарантийные сидели на люстре и ломали головы: как же им теперь спуститься вниз, как выбраться из западни.

А в доме вовсю шли приготовления к дню рождения. Покупались продукты, мылся пол, и девочка Таня всё говорила маме:

- Мама, мама, обязательно отодвинь холодильник! Вон за ним как много пыли.

- Придумал, - вдруг сказал Холодилин, сидя на краю люстры. - Есть выход. Мы парашюты сделаем.

- Как же мы их сделаем? - возразил Новости Дня. - У нас и материи нет.

- Нам и не нужна материя. Мы их из нитрокраски сделаем. Вот эти лампочки большие видите?

- Видим.

- Мы верхушки нитрокраской покроем из пульверизатора. Краска высохнет, и получится плёнка. Пожалуйста, снимай её - вот тебе и купол парашютный!

- Но она же прилипнет к стеклу, - сказал Новости Дня. - Её никакой силой не отдерёшь.

- И неправда, - возразил Холодилин, - Смотрите, сколько пыли на лампочках.

Краска до стекла даже и не достанет... А ну-ка за дело!

Он вытащил баллончик с пульверизатором и, как только хозяева куда-то ушли, осторожно стал покрывать верхушку лампочек краской. Слой за слоем. Нитрокраска очень быстро высыхала, и прямо на глазах у человечков получались белые парашютные купола. Оставалось только снимать их, как кожицу с гриба маслёнка.

- Ура! - закричал Пылесосин. - Спасены! Потому что сделать стропы из запасного мотка с проволокой было проще пареной репы.

День рождения у Тани вышел на славу. Гости пели, танцевали и вообще всячески веселились. И чего только не подарили девочке! И куклу, и краски, и грузовой автомобиль, и новую немецкую игрушечную стиральную машину.

- Интересно, а в ней есть гарантийный? - спросил Пылесосин. - Вот бы поговорить.

- Конечно, должен быть, - сказал Буре.

- Не думаю, чтобы там кто-нибудь был, - сказал Новости Дня. - Дети очень часто игрушки до ниточки разбирают. Там находиться опасно.

- Мама, - спросила Таня, - а ты почему мне ничего не подарила?

- Будет тебе подарок, - сказала мама. - У моей сотрудницы по работе кошка котят родила. Только они пока маленькие. Вот когда приедем в город, они подрастут, и мы одного заберём. А сейчас твой подарок ещё ходить не умеет.

- Ой, мамочка, как хорошо! - запрыгала Таня. - Какая ты у меня замечательная мама! Самая подарочная! Умница!

Наконец-то пришёл вечер. С ним пришла тишина. А потом настала лунная ночь. И все в доме крепко заснули.

Гарантийные с пристёгнутыми парашютами ждали на краю люстры.

Вот послышался цокот коготков, и на середину комнаты выбрался белый Вася.

- Эй, гарантийные, спускайтесь, я знаю, где ваша Машка!

Человечки, как по команде, сиганули вниз.

На улице было тепло и непривычно. И во все глаза светила луна.

По обочине дороги человечки пробирались на край деревни.

Там в последнем доме, по сведениям мышонка Васи, проводила всё своё свободное время легкомысленная кукушка Машка. Потому что в том доме тоже были старинные часы. В часах тоже жила кукушка. Звали её, а вернее, его Петька.

Гарантийные пробирались сквозь густую траву, старались не показываться в открытых местах.

- Я первый раз так иду, - сказал Иван Иванович.

- А я сколько раз! - сказал Новости Дня. - Вертолёты ведь далеко летать не могут. Вот и добираешься пешком на попутках на свой завод.

Он шагал впереди, прокладывая дорогу и посматривая, нет ли какой опасности - кошки там или филина. Перед собой он держал две проволочки от конденсатора, а сам конденсатор был в рюкзаке. Шествие замыкал Холодилин с баллончиком в руках.

Ни кошки, ни коршуна не было. И вообще не было особых приключений. Только один запоздалый ночной и бестолковый индюк попытался их поклевать. Но радиомастер протянул к нему проволочки, и шесть килограммов индюшатины в ужасе унеслись в неизвестном направлении.

Вот и крайний дом. Двери закрыты, а окна заколочены. Но мышонок знал здесь все ходы и выходы. Он приподнял половицу под дверью, и человечки пробрались внутрь.

- Мы здесь раньше жили, - сказал Вася. - Пока хозяева в город не переехали.

В доме было чисто и пусто. В большой комнате висели старинные часы. Человечки покричали и пошумели, и к ним сверху упала верёвочная лестница.

Хозяин был дома. Это был плечистый седобородый старик. Он встречал гостей на площадке внизу, придерживая огромного цепного паука. В руке он держал горящую свечу.

- Тихо, Бац-Бац! На место. Кому говорят! Паук с недовольным ворчанием удалился в свою будку - тёмный угол часов, занавешенный паутиной.

- Сергей Сергеевич Мозер, - представился хозяин и поклонился в пояс.

Он быстро вскипятил самовар и стал угощать пришельцев. Но Машку отдать наотрез отказался.

- Это как голуби, - сказал он. - Я подманил. Была ваша Машка, стала наша Глашка.

Не зевайте в следующий раз. А у меня теперь пара.

Старик оказался интересным. Он привык к одиночеству И не тяготился им, как не тяготятся пожилые лесники и пасечники. И вообще он вёл скорее крестьянский, чем мастеровой образ жизни. Даже пчёлы у него были. Вернее, осы.

Буре совсем было загрустил, но Пылесосин нашёл выход.

- А сменять можно? - спросил он у старика. Старик недоверчиво покосился на него:

- А на что?

- Вот на это. - Он вытащил из рюкзака пружину. Глаза у Мозера загорелись. Пчёлы пчёлами, природа природой, а всё-таки он был мастер. И неплохой, судя по тому, сколько лет служили его часы и как они выглядели.

- Вот черти хитрые! - сказал он. - Ладно, берите вашу бестолковушку!

Он вышел из комнаты и принёс пучеглазую Машку. Кукушка увидела Буре, захлопала крыльями и радостно уселась к нему на плечо.

- Всё, - сказал Холодилин. - Прощаемся.

Мозер проводил их до лестницы. Придержал Бац-Баца и пожелал счастливой дороги.

Уже начинался рассвет.

- Ну, как дальше? - спросил Буре, когда они вышли из дома.

- Очень просто, - ответил Холодилин. - До ближайшего шоссе. Там у километрового столба делаем знак. Ставим наверх цветок и ждём.

- Чего ждём?

- Увидите.

И вот целый час стоят они возле километрового столба. На столбе цветок. А они ждут.

У-у-у-у! - послышался вой мотора издалека. Показался новенький, с иголочки, грузовик.

- Приготовиться! - приказал Холодилин. И точно, вдруг грузовик стал пыхтеть, чихать, дёргаться и резко сбавлять скорость. Около километрового столба машина остановилась.

Из кабины вылез молоденький недоумевающий шофёр, открыл капот и стал копаться в моторе.

- С чего бы это? - говорил он, почёсывая затылок. - Ехал, ехал - и вдруг! Совсем ведь новый мотор. Ещё гарантия не кончилась.

Тут из мотора грузовика рядом с передним колесом выпала верёвочная лестница.

Человечки подхватили рюкзаки и ринулись внутрь. И вместе с ними, конечно, Вася.

- Быстрее, быстрее! - говорил маленький человечек в чёрном комбинезоне. Он стоял наверху.

Путники оказались в довольно уютной, хотя несколько замасленной комнате-мастерской. И как только они вошли, хозяин немедленно исчез. Через две минуты мотор снова запел песню, и они поехали.

Глава восемнадцатая. Почему мы, гарантийные, хорошо на свете живём.

- Ничего не понимаю, - сказал Буре хозяину комнаты, когда тот вернулся. - Бы что, специально за нами ехали?

- А чего понимать-то? - ответил автомастер. - Увидел я знак, и всё. И остановил машину.

- Но как?

- Да просто. Прекратил подачу бензина. А потом снова завёл. Всё путём. В первый раз, что ли?

- А что шофёр?

- Он подумал - песчинка попала. Да мало ли что!

- А я вас знаю, - сказал Пылесосин. - Вы - Карданыч. Вы нас на дачу перевозили.

- И совсем нет. Я - Рессорыч. А Карданыча я знаю. Мы в одном парке работаем. Вы лучше скажите, кому куда. Человечки назвали адреса.

- Всё путём, - сказал Рессорыч. - Прокат холодильников на нашей улице.

Радиозавод рядом. Карданыч туда ездит. Да и мастерская по ремонту пылесосов где-то по дороге будет. А вот вам куда? - обратился он к Буре.

- Поедете со мной? - спросил Буре у мышонка.

- Ещё как!

- Тогда нам на улицу водопроводчика Петрова.

- Ладно, - согласился Рессорыч. - Только вам придётся со мной поездить. Может, неделю. Может, две. Мы в тех краях редко бываем. Там заводов нет.

- А как вы в дом проберётесь? - спросил Холодилин.

- Проберутся, - сказал Говорит Москва. - Через балкон. Или через чердак. Или через вентиляцию. Или по антенне. А лучше всего ты им присоски свои отдай.

- И верно, - согласился Холодилин. - Держи, Иван Иванович.

- Ну что же, - сказал Буре, - давайте на всякий случай прощаться. Очень я к вам привык. Сдружился за это время. Я теперь как осиротею.

- Ничего, - успокоил его Пылесосин. - Может, кто у вас новый появится. В стиральной, например, машине приедет.

- То ли появится, то ли нет, - возразил Буре. - А потом, пока я к ним привыкну, пока подружусь, как с вами, им уже и уезжать пора.

- Не прав ты, Иван Иванович, - сказал Холодилин. - Почему мы, гарантийные, хорошо на свете живём? Да потому, что мы не привыкаем друг к другу, а сразу ладим. Мы к каждому мастеру подходим так, будто всю жизнь его знали. И не просто знали, а как хорошего человека. Верно, Рессорыч?

- А что? Всё путём.

- А хочешь, Рессорыч, я тебе перочинный нож подарю? Или фонарик новенький?

- Нож-то мне ни к чему, - отвечал мастер. - А вот от фонарика я бы не отказался.

Дари, коли не жаль.

А мотор всё гудел и гудел. А дорога всё бежала и бежала под колёсами. Холодилин отвёл Буре в сторону и сказал:

- У тебя, Иван Иванович, хорошее дело может выйти. Ведь до сих пор мыши с людьми не ладили. А ведь можно их помирить. Чем мыши, например, собак хуже? Или пчёл?

- Понял, - сказал Иван Иванович. - Постараюсь. А дорога всё бежала и бежала назад. И становилась всё короче и короче. Всё путём.

Эпилог.

Девочка Таня всё излазила на даче. Но не нашла человечков. И грустно-прегрустно ей стало. И немножко совестно.

- Мама, - сказала она, - я больше не буду человечков искать. Ведь если они от меня прячутся, то знают почему. Пусть живут, как им хочется. Даже если их нет.

Если они мне приснились.

И вдруг она увидела кончик белого листка, торчащего из-под холодильника. Девочка взяла его и прочитала:

"Никаких человечков нет. Это всё тебе приснилось. Но котёнка у мамы не проси. И.И. Буре".

И опять Иван Иванович жил в часах. Он, да "Машка, да мышонок Вася. Замечательно они жили. Просто очень хорошо. Только Машка отличилась. Стала яйца нести. Нет чтобы своё гнездо свить, так, здрасте пожалуйста, начала из дома вылетать и по разным часам их раскладывать. Ничего не поделаешь она же кукушка, а не курица.

И в разных часах в разных квартирах стали птенцы выводиться.

Вот почему в современных домах среди современной мебели так много стало обыкновенных деревенских ходиков с кукушкой. Вы это тоже заметили?

Сергей Седов

Справочный материал

Сергей Анатольевич Седов - популярный детский писатель, сочинитель веселых сказок-приключений. Родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский педагогический институт отделение педагогики и психологии факультета начального обучения. В 1988 году опубликовал в газетах удивительные истории про мальчика Лёшу. В 1991 году выпустил в соавторстве с А.Антоновым первую книгу «Жил-был Леша» в издательстве «Малыш». С этого времени Сергей Седов был признан и остается детским писателем. Он создаёт циклы сказок, каждый из которых издается отдельной книгой: "Сказки про королей", "Сказки про Лену и Серёжу" (альманах "Ку-ка-ре-ку" (1990)), "Сотворение мира" (по библейским сюжетам), «Сказки про лягушку Пипу" (1992), "Сказки про дураков" (1993), публикуется в "Литературной газете", в журналах "Огонёк" и "Трамвай".
В 1993 г. в издательстве "Детская литература" вышла книга "Сказки про Змея Горыныча" – сборник смешных историй с участием сказочного персонажа, в 1997 г. в издательстве "Белый город" - "Мальчик Лёша и разбойники". Со свойственным ему юмором он пересказывает по-своему всемирно известные сказки, от чего они приобретают новое звучание ничуть не хуже оригинального.

В журнале "Мурзилка" он вместе с Мариной Москвиной в течение почти десяти лет сочинял остросюжетные комиксы про приключения Лёни и Люси в компьютерном мире.
С. Седов много публикуется в детских журналах и газетах - "Трамвай", "Куча-Мала", "Жили-Были", "Весёлые картинки", "Синдбад", альманахах "Колобок и Два жирафа", "Кукумбер" и других. По его сценарию был снят мультфильм "Про дурака Володю" (Союзмультфильм, реж. Елена Пророкова), получивший немало премий на кинофестивалях мультипликации.

Издательство "Дрофа" издало книги С.Седова "Сказки про Змея Горыныча" (2000), "Сказки про мальчика Лёшу"(2000), "Невероятные приключения и путешествия Зайца Зайцева" и новое издание весёлых, лёгких, остроумных, эпических и остросюжетных пересказов древнегреческих мифов "Геракл. Двенадцать великих подвигов. (Как это было на самом деле. Рассказ очевидца.)". Своего издания ожидает новая серия - "Сказки Детского Мира" - про мягкие игрушки.

С 1991 года С.Седов является Членом Союза писателей.

Сказки про дураков

ДУРАК ВОЛОДЯ

Жил в нашем дворе один дурак. Звали его Володя. Полез как-то на дерево. Лезет-лезет, лезет-лезет... Ему говорят:
– Володя, упадешь ведь!
А он все лезет, лезет, лезет, лезет!
Ему уже кричать стали:
– Воло-о-одя!!! У-па-дешь!!!
По-всякому кричали: и по одному, и хором. И пожарники ему кричали, и водолазы, и летчики, и космонавты... Даже Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций кричал:
– Ва-ло-дья, у-па-дьешь!
И Володя упал.
А у Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций была дочка. Подбежала она к Володе и спрашивает:
– Ты не ушибся?
А Володя ей:
– Выходи за меня замуж!
– Какой же ты дурак! – покачала головой красавица. – Брякнулся с такой опасной высоты – тебе бы охать, ахать, доктора звать, а ты жениться хочешь!
– Это потому что я тебя полюбил с первого взгляда, сразу после удара об землю.
Заплакала тут красавица и призналась Володе:
– Я тебя еще раньше полюбила – когда ты только летел с дерева вверх тормашками. Но замуж за тебя я не могу пойти, потому что меня завтра поутру, наверное, дракон съест.
– Какой-такой дракон?
– По имени Змей Горынович. Он сказал, что если меня ему на съеденье не отдадут, то он всю нашу планету пожгет и отравит.
– А куда же смотрит Организация Объединенных Наций? – возмутился Володя. – Тем более у тебя папа – Генеральный Секретарь!
– Так-то оно так, да только дракон этот никого не слушается. Потому что он непобедимый. Столько уже богатырей погубил, самых разных национальностей!
– А где он живет?
– Да в горах Гималайских.
Взял дурак Володя пару костылей – потому что у него одна нога была сломана после падения с дерева – и пошел в Гималайские горы.
Пришел...
– А-а-а-а! – заревел дракон. – Еще один богатырь! Ну-ка, посмотрим, какое у тебя вооружение?
Увидел Змей Горыныч Володины костыли и как засмеется, как загогочет:
– Гы-гы-гы!.. Ой, не могу!.. Гы-гы-гы!.. Гы-гы-гы!.. Гы-гы-гы!..
Меня и мечами били... Гы-гы-гы... японскими, и снарядами били... гы-гы-гы... бронебойными... и ракетами... Гы-гы-гы... средней дальности! А костылями еще не били! Гы-гы-гы!.. Ой, умру... Гы-гы-гы... Ой, умру от смеха! Гы-гы-гы... Ой, умру!..
А сам никак остановиться не может. Три дня смеялся и три ночи. Но не умер. А лопнул. И сдулся. Маленький стал, меньше пуделя. А был раньше больше Джомолунгмы!
Он теперь у Володи дома живет. Вместо собаки.
А наш-то дурак и та красавица, дочка Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций, скоро поженились. Все Объединенные нации на свадьбе гуляли. Еще как!

ДУРАК САША

Жил в нашем дворе один дурак. По имени Саша. И все время бегал: туда-сюда. И постоянно стукался головой – то об дерево, то об стенку. Ему все говорили: «Перестань бегать и стукаться, а не то будет у тебя когда-нибудь сотрясение мозга!» Но Саша никого не слушал. По-прежнему бегал и по-прежнему стукался…
Однажды, прямо у нас во дворе приземлился большущий самолет (по какой-то неизвестной причине).
Саша, конечно, обрадовался, тут же об самолет стукнулся – как обычно, головой, как обычно, с разбегу: БУМММ!!! И вот вам, пожалуйста, сотрясение мозга!!! Голова Сашина закружилась, стоит он – качается, шатается – вот-вот упадет. Тут все во двор высыпали и говорят Саше: «Мы тебя предупреждали насчет сотрясения! Не нужно было об самолет стукаться!»
А самолет тот был непростой. Им управлял самый главный маршал авиации.
И была у него дочка – дура-дурой, но добрая и симпатичная. Ничего она Саше не сказала, тихо подошла и давай его по головке гладить. А Саша ей:
– Выходи за меня замуж. Ты дура, я дурак – нам вместе хорошо будет.
– Да я бы, – отвечает дурочка, – ни минуточки не раздумывала, сразу бы дала свое согласие – но только не бывать нашему счастью. Мы с папой моим, с маршалом, прямо сейчас летим в Америку, меня там замуж отдавать будут. За ихнего Кощея Бессмертного.
– И охота тебе?
– Ой, неохота! Да что делать, Сашенька? Если не пойду за него, он ведь атомную бомбу бросит!
Вздохнула дурочка, села в самолет, полетела в Америку.
А Саша, хоть и дурак, уцепился за хвост самолета – тоже полетел.
Прилетают…
Кощей Бессмертный прямо на аэродроме подбежал к невесте, пощупал, понюхал:
– Любишь меня? – спрашивает
Тут Саша как выступит:
– Она меня любит!
– Ах так! – сказал Кощей Бессмертный – и вытащил из-за пазухи Секретную Сковородку (он этой сковородкой всех убивал, она была самая твердая на свете), потом размахнулся… А Саша стоит, не сопротивляется – шатается только – из-за сотрясения мозга (оно у него еще не прошло). Вот, значит, Кощей размахнулся – хрясь сковородкой – мимо!!!
– Ты чего шатаешься? – заорал. – Стой-ка смирно!
А Саша и рад бы смирно встать, да сотрясение не позволяет.
Кощей снова: хрясь сковородкой – опять мимо!
– Долго ты еще будешь тут шататься-качаться? Я тебя спрашиваю!!!
А Саша ему:
– Ой, кажется, прошло сотрясение!
И в самом деле, стоит – уже не шатается…
Обрадовался Кощей такой своей удаче, схватил свою сковородку всеми своими руками, размахнулся со всей своей силы, надул все свои щеки, зарычал трактором и треснул дурака Сашу по голове – думал, она у него такая же, как у всех: не выдержит страшного удара. Но голова у нашего Саши была крепкая – не даром он ей все время стукался на Родине. Отскочила секретная сковородка от Сашиной головы – прямо Кощею Бессмертному по башке:
– БУМММММММ!!!
Тут Кощей Бессмертный… умереть, может, и не умер, но скончался.
А Саша и дочка главного маршала авиации поженились.
Папа невесты нашему дураку на свадьбу самолет подарил. Настоящий!!!

ДУРАК ТОЛЯ

Жил в нашем дворе дурак по имени Толя. Выйдет, бывало во двор и орет:
– А-а-а-а!! О-о-о-о!! У-у-у-у!! – и погромче старается.

– Не ори так! – говорили ему. – Охрипнешь, осипнешь, пропадет твой голос.
А он послушает-послушает, что говорят, наберет побольше воздуху и:
– А-а-а-а!!! О-о-о-о!!! У-у-у-у!!! – еще громче.
Жила в Италии одна оперная певица, самая лучшая в мире. Спела она как-то свою оперу (с огромным, как водится, успехом), вышла из оперного театра (а это был тот самый знаменитый «Ла Скала»), слышит, кто-то кричит. (А это, конечно, Толя кричал).
Великая итальянская певица моментально к нам во двор из Италии приехала и говорит:
– Анатолий, не кричи слишком сильно, береги свой чудесный голос!
А дурак Толя увидел певицу и так заорал, как еще никогда:
– Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!! – тут он и охрип, тут он и осип, тут он и потерял свой голос! Рот разевает, языком болтает – а громкости никакой – одно шипение...
Бросилась к нему великая итальянская певица. Обнимает, плачет.
– И зачем же, ты, – говорит, – потерял свой уникальный голос?! Теперь мы с тобой не сможем пожениться. А ведь я вижу по твоим глазам, ты меня тоже любишь!
А Толя и впрямь глаза выпучил, шипит, головой трясет, руками машет, красный как рак – сразу видно, влюбился по-настоящему.
– Теперь я выйду замуж за отвратительного великана Гуингбема, потому что он громче всех кричит – так мне на роду написано! – грустно сказала великая итальянка и пропала.
А дурак Толя попил теплого молочка, сунул в карман большую шоколадку и пошел в Африку. Пришел, видит: там уже все готово к свадьбе отвратительного кровожадного великана Гуингбема и прекрасной великой оперной итальянской певицы. И горит огромный костер. Толик подошел незаметно к своей любимой и спрашивает тихим шепотом:
– Зачем костер-то горит?
Она ему отвечает:
– Сразу после свадьбы великан меня на этом костре поджарит и съест. Такой обычай.
– Ну и дикари! – покачал головой дурак Толя. – А скажи-ка, где тут можно молочка теплого попить? Мне для горла полезно.
– А вон, видишь, – отвечает бедная певица, – громадный стакан, высотой с маленький домик? Там как раз теплое молоко с шоколадом для великана Гуингбема приготовлено, он любит!
– Я тоже люблю! С шоколадом-то какой дурак не любит? – сказал наш дурак и полез на стакан. Хотел зачерпнуть молочка кепкой своей, да сорвался с края и утонул в громадном стакане... Но он не захлебнулся! Потому что частыми, громкими криками в нашем дворе натренировал свои легкие и теперь смог надолго задержать в молоке свое дыхание.
А отвратительному, кровожадному великану Гуингбему как раз захотелось перед свадьбой молочка с шоколадом. Вот он и выпил все залпом – но только не с шоколадом, а с дураком. И Анатолий ему не в то горло попал!!! Подавился Гуингбем Толиком нашим. Насмерть.
А великая певица и дурак Толя поехали в Италию и поженились. К нашему дураку на радостях и голос вернулся. Он на свадьбе так орал! Все итальянцы попадали. От восхищения...

ДУРАК МИША

Жил в нашем дворе еще один дурак. Звали его Мишка.
Вот вышел он во двор и как засмеется:
– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Все собрались вокруг:
– Что смешного? – спрашивают. – В чем причина хохота?
А Мишка безо всякой причины:
– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!!! – ну дурак же...
Все стояли-стояли, удивлялись-удивлялись, а потом вдруг и сами засмеялись:
– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!

И дворники засмеялись, и старушки на лавочках, и слесари-сантехники, и метеорологи, и военнослужащие – в общем, все-все-все, даже министры! Только один премьер-министр не смеялся. Не до смеха ему было. Все из-за дочки – из-за красавицы.
Подбежала она к Мишке и заплакала:
– У-у-у-у! У-у-у-у!
Мишка взглянул на нее и еще громче:
– Ха-ха-ха-ха-ха-ха!.. Ты чего... Ха-ха-ха... – спрашивает, – плачешь?
– Как же мне не плакать-ать-ать-ать? – отвечает прекрасная девушка. – Ведь я тебя, дурака, люблю-у-у-у-у-у-у!
– Ха-ха-ха-ха-ха!.. И я тебя... ха-ха... люблю... ха-ха-ха-ха... – залился дурак пуще прежнего.
– Тебе хо-ро-шо-о-о-о! А меня за-муж от-да-ю-у-у-у-ут!
– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! – Мишка от смеха упал даже, хохочет, по траве катается. – Ха-ха-ха!.. А за кого отдают-то?.. Ха-ха-ха!
– За подземного Лю-ци-фе-е-е-е-ера! У него уши как та-ре-е-ел-ки, щеки как подуу-у-у-ушки-и-и-и, глаза как насто-о-о-ольные лам-пы-ы-ы-ы!
А Мишка умирает от смеха:
– Ха-ха-ха!.. Ой, не могу!.. Ха-ха-ха!.. Как тарелки!.. Ха-ха-ха... Как подушки... Ха-ха-ха!.. Как настольные лампы!.. Ха-ха-ха!..
Смеялся-смеялся, катался-катался, смотрит – а красавица-то исчезла. Сквозь землю провалилась! Тогда наш дурак прыснул последний раз в ладошку: «Гы-гы-гы!» – и пошел в Подземное Царство. Пришел, смотрит: сидит Люцифер безжалостный на троне. И подходит к нему наша красавица, дочка премьерская. Подошла, глянула на жениха своего и в обморок упала. От ужаса.
Интересно стало дураку, подошел он поближе к ужасному Люциферу и вдруг:
– Ха-ха-ха! – как заржет!
– Ты что себе позволяешь? – заревел противный Люцифер. – У нас тут, в подземном царстве, смеяться запрещено! Даже тихонечко нельзя, а громкий хохот и подавно смертной казнью карается!
Но дурак знай себе хохочет:
– Уши-то, уши... ха-ха-ха!.. как тарелки! Щеки-то, щеки... ха-ха-ха... как подушки!.. А глаза-то, глаза... ха-ха-ха... как настольные лампы!
Приказал всемогущий Люцифер своим слугам, чтоб они дураку Мишке голову поскорей отрубили, а они приказа не выполняют – смеются! У Мишки-то смех заразительный. Вот и заразились: катаются по подземелью, все свои топоры с алебардами растеряли. Только один Люцифер не катался, не смеялся. Ему нельзя было! Потому что у него в желудке с давних времен застряли две авиационные бомбы и одна противотанковая мина. Они запросто могли взорваться от сотрясения живота, которое обычно происходит во время смеха и особенно хохота. Вот Люцифер и крепился изо всех сил, чтобы не засмеяться. Целый час крепился и второй тоже, а на третий не выдержал, захихикал. Бомбы у него в животе затряслись, об мину стукнулись и... «БУММ»!!!
Очнулась красавица, смотрит: вместо подземного царства солнышко светит, речка течет. А вместо Люцифера ужасного – дурак любимый, Мишка ненаглядный. Одним словом, счастье наступило, огромное, практически бесконечное. Кто бы мог подумать!

ДУРАК СЕРЕЖА

Жил в нашем дворе дурак по имени Сережа.
Однажды, вышел на середину двора и стал танцевать.
Танцует себе и танцует. Пляшет и пляшет... День пляшет, два пляшет – руками машет, головой трясет, ногами дрыгает. Ему кричат:
– Сережа, хватит плясать, а не то сердце не выдержит, остановится, и душа покинет твое тело!
А Сережа внимания не обращает, танцует, напевает:
– Пам-парам-пам-пам-пам-пам! Пум-пурум-пум-пум-пум-пум!

Тут уже и президент нашего государства не сдержался. (Он как раз проплывал мимо нашего двора по пути в Японию.)
– Сережа! – закричал с борта корабля президентского. – Отдохни!!!
Но Сережа только сильней руками замахал, головой затряс и ногами задрыгал.
Была у нашего президента дочка. Очень красивая, но только дура. Подплыла на шлюпке к нашему берегу, подбежала к Сереже и давай танцевать вместе с ним. А Сережа увидел такую красавицу и еще жару добавил:
– Пам-парам-парам-пам-пам! Пум-пурум... – тут у него сердце и в самом деле не выдержало, остановилось, а душа сразу покинула молодое Сережино тело. Упал он, лежит мертвый.
Президентская дочка протянула к нему свои белые руки и говорит:
– Прощай мой любимый возлюбленный! Был бы ты живой, плясали бы мы с тобой всю жизнь рука об руку, нога об ногу, никогда бы не расставались. А теперича пойду я замуж за японского Змея морского – это чудище такое с песьей головой, тремя хвостами и восемнадцатью ногами. И не по любви пойду, а в интересах укрепления международных связей и взаимных отношений между нашими государствами! – сказала и поплыла с папой на Японские острова.
Только они уплыли, душа Сережина к нему в тело вернулась, а сердце забилось с прежнею силою. Это потому что дурак наш крепко полюбил президентскую дочку и решил спасти ее от такого японского жениха. Приплыл в Японию, а там уже спрашивают нашу девушку:
– Согласна ты стать женой морского чудища с песьей головой, тремя хвостами и восемнадцатью ногами?
Хотела наша красавица сказать: «Что делать? Согласна!», как вдруг увидела Сережу и говорит:
– Нет, не согласна!
– Это почему? – спрашивает Змей, чудище восемнадцатиногое.
– Потому что мой любимый дурак Сережа, оказывается, живой! – отвечает дочка президентская.
– Люблю живых дураков! – застучал Японский Змей всеми своими ногами, замахал всеми своими хвостами, разинул пасть огромную, хотел дурака живьем слопать, но душа Сережина опять: оп – и покинула тело. Упал Сережа, лежит, опять мертвый.
– Не, я мертвечиной не питаюсь! – скривил Японский Змей свою песью морду
– Ну что, – спрашивает невесту, – теперь согласна?
Видит девушка: деваться некуда – надо соглашаться. А Сережа вдруг как вскочит (душа к нему еще раз вернулась), как закричит:
– Не согласна!
Змей опять хотел дурака живьем съесть, но Сережа опять успел скоропостижно скончаться.
– Что это за дурак такой? – возмутилось Чудище. – То живой, то мертвый!
Тут президентская дочка тоже упала, мертвой притворилась.
– Наверно, они все такие, ненормальные, – догадался японский Змей. – Нет уж, лучше я женюсь на какой-нибудь глубоководной Акуле.
После этих слов он сразу прыгнул в Океан. С тех пор в Японии Змея восемнадцатиногого ни разу не видели. Говорят, он нашел свое счастье в океанских глубинах.
А дурак Сережа, оживши, на президентской дочке, естественно, женился. И никогда больше не умирал.

ДУРАК НИКОЛАЙ

Жил в нашем дворе дурак, Коля-Николай.
Встал как-то посреди двора и давай рожи корчить. Да такие страшные, такие ужасные! Все разбежались от страха. Даже пожарники смелые, даже милиционеры храбрые, даже бандиты бесстрашные, даже бизнесмены крупные. А дочери бизнесменов еще быстрей разбежались. Все, кроме одной – дочери самого крупного бизнесмена. Она была такая красивая. Но дура полная! Обняла Колю, расцеловала прямо в ужасную рожу, и говорит:
– Ты, Коля, великий артист, я тебя страшно люблю!
– Так давай поженимся! – отвечает дурак.

– Не могу!
Тут Коля перестал корчить рожи страшные – ужасные и скорчил рожу грустную-печальную.
– А почему? – спрашивает.
– Да потому что задолжал мой папа много-много миллионов гигантскому Пауку – самому крупному представителю отряда паукообразных. Придется мне теперь за этого чудовищного паука замуж идти, а не то он папу в тюрьму посадит или, вообще, расстреляет.
– И где этот паук живет?
– Да в стране своей, паучьей.
– Иди к папе, а я это дело улажу, – сказал дурак и недолго думая, пошел в страну паучью.
Приходит. Смотрит, в полях цветы не цветут. Слушает, в ветвях птицы не поют. И ни души кругом. Один старый старик косой траву косит.
– Дедушка! – спрашивает дурак. – А почему у вас цветы не цветут и птицы не поют?
– Им паук запретил!
– Я как раз иду с этим пауком разбираться, – говорит Коля. – Нет ли у вас, дедушка, какого-нибудь секретного оружия: меча-кладенца, к примеру, или дубинки какой-нибудь волшебной?
– Нету, милый, – вздохнул дедушка. – Вот только одна старая ржавая коса осталась – возьми, может, пригодится.
Взял дурак ржавую косу, дальше пошел. Чувствует: х-х-холод-д-дно как-то! Тут ему на пути старушка попалась, нищенка.
– Что же это, бабушка, – спрашивает Коля, – у вас днем солнце не светит, землю не греет?
– Ему паук запретил! – отвечает старушка.
– Я как раз иду с этим пауком разбираться. Нет ли у тебя, бабушка, какой-нибудь шапки-невидимки, или хотя бы кольчуги непробиваемой для эффективной защиты?
– Нету, милый, ничего такого. Только вот плащ рваный с капюшоном остался – возьми, может пригодится!
Одел дурак плащ с капюшоном, косу тоже не забыл – и пошел прямо к пауку в пещеру. А громадный, чудовищный паук его спрашивает:
– Ты кто?
– Я Смерть твоя! – отвечает Николай.
Присмотрелся к нему паук повнимательней и говорит:
– Одежда у тебя подходящая, ничего не скажешь: рваный плащ с капюшоном, и коса ржавая имеется – я бы, пожалуй, поверил, что ты Смерть, но лицо-то у тебя доброе, – разве такое лицо может быть у Смерти паучьей? Не верю!!!
Тут Коля, не долго думая, взял, да и скорчил ему рожу, стрррашную, ужжжасную.
Засомневался паук: верить или не верить?
Тогда Коля скорчил ему вторую рожу, еще страшней первой. Еще ужаснее.
Паук чудовищный как увидал вторую рожу, так почти поверил, что пришла к нему настоящая Смерть. Осталось у него только одно маааленькое сомнение. Посмотрел еще раз на Колю внимательно, а тот ему уже третью рожу корчит, самую-самую страшную! Самую-самую ужасную!
– Верю! Верю! – захрипел паук и – пух! – испустил свой дух...
Солнышко выглянуло, землю согрело, птички запели, цветы расцвели.
Скоро и свадьбу сыграли. Все были довольны, все счастливы – особенно папа невесты – обнимал Колю, целовал, не переставая!

ДУРАК СЕНЯ

Жил у нас во дворе дурак Сеня.
Привезли как-то к нам бочку кваса. Сеня одну кружку выпил, вторую, третью... четвертую... пятую... шестую... седьмую... десятую... четырнадцатую... И все большие! Ему кричат:
– Сеня, хватит пить, не то лопнешь или описаешься!
А он уже девятнадцатую пьет!
В общем, целую бочку опустошил. Потом еще вторую бочку...

А когда третью допивал, подошла к нему вдруг очень красивая девушка (а была она дочкой самого главного конструктора космических кораблей) и говорит:
– Я тоже люблю пить квас, только понемножку.
Взяла себе маленькую кружечку и стала пить маленькими глоточками.
Тем временем Сеня допил свою третью бочку и говорит девушке:
– Выходи за меня замуж!
Отвечает ему девушка:
– Я бы, Сеня, с удовольствием вышла за тебя, и мы всю жизнь пили бы квас в любви и согласии, но только не бывать этому!
– Это почему же? – спрашивает Сеня.
– Да потому что ждет меня в космосе мой жених – гигантский железный робот по имени Морданбаунт.
– Любишь его? – спрашивает Сеня.
– Дурак ты! – отвечает девушка. – Тут никакая не любовь, а одно только самопожертвование с моей стороны. Ведь если не пойду за него, он со злости врежется в нашу планету – словно огромный астероид – и от столкновения погибнет вся земная цивилизация, а может быть даже и вся вообще жизнь.
Сказала так бедная девушка, надела быстренько скафандр, села в маленькую ракету и полетела в космос. Мы ей с нашего двора на прощание помахали.
А Сеня-дурак разволновался, еще пару кружек выпил и побежал на космодром. Там он сел на космический грузовоз с самой большой грузоподъемностью – потому что у него в животе плескалось целое озеро кваса – и полетел в ту же самую сторону космоса, что и любимая девушка.
А гигантский робот по имени Морданбаунт увидел Сенин грузовоз, схватил его своей железной рукой и... засунул себе в гигантское ухо. Там, в его гигантской голове, было специальное помещение для гостей. Вылез Сеня из грузовоза, смотрит, внутри у робота полным-полно всяких лампочек, проводов и кнопок. А выхода нет. И любимой девушки тоже. Но главное, захотелось ему... в туалет – ужасно захотелось! (Он же на Земле ни разу не сходил). Стал искать туалет. Искал-искал – нету.
Робот же тем временем готовился к свадьбе – смазывал самого себя машинным маслом, чтобы не заржаветь. А наша девушка находилась в грудном отсеке. Тут Морданбаунт устроил для нее роскошную спальню. Она надевала подвенечное платье и горько плакала, вспоминая Сеню.
А Сеня туалет искал, искал, но так и не нашел... Описался. Си-и-и-ильно! Всего робота затопил. Лампочки замигали, провода задымили, искры заискрили. А из Сени, из дурака, все льется и льется!
Робот дергаться стал, заикаться… Прямо на глазах начал ржаветь и разваливаться на части! А все входы-выходы сами собой вдруг открылись, автоматически. Вылетел наш дурак на своем грузовозе обратно в открытый космос. И видит, что там, среди обломков Морданбаунта его любимая, в платье подвенечном руками машет. Живая, значит! (Она платье-то надела поверх скафандра – вот и выжила в условиях космического вакуума)
Прилетели они на Землю, приземлились прямо у нас на дворе. Мы их, конечно, ждали с нетерпением. Свадьбу сыграли. Столько было радости, смеха. А сколько квасу было выпито![81]

Сказки про королей

Король ест яблоко

Жил-был король.
Вот достал он как-то из-за пазухи яблоко и говорит:

[81] http://skazki-s-sedova.narod.ru/index/0-3

– Чур, никому не дам!
Так и съел все яблоко сам, ни с кем не поделившись.
С тех пор его в народе так и прозвали: «Жадина-говядина!»

Король убивает

Жил-был король. Он очень любил охотиться и убивать разных зверей. Вот раз он убил медведя, а медведь взял и убежал! Король очень удивился и убил оленя. Но олень тоже убежал. Тогда король пожал плечами и стал собирать грибы. И набрал одних поганок. Съел их и умер. Заплакал тут весь народ. Потому что король был в общем-то неплохой.
– Как же мы будем теперь жить? – спрашивали все. – Без нашего короля?
Прибежали тут из леса медведь с оленем, те самые, и говорят королю:
– Ну что, хорошо тебе, мертвому?
– Да нет, ребята, – отвечает король, – лежу вот, как бревно. Ни попрыгать, ни побегать...
– То-то же! – покачали головами медведь с оленем и побежали за живой водой.
Побрызгали на короля. И король ожил!
– Ура!!! – закричал весь народ и давай обнимать на радостях медведя с оленем. А король побежал, поломал все ружья, патроны повыбрасывал. Смеется, радуется... Хорошо, видно, живому – куда лучше, чем мертвому!

Король сморкается

Жил-был король. Грозный. Очень грозный. Грозный-грозный был! Ужасно грозный!!!
И вот стал он однажды сморкаться. Достал платок, белый-белый, королевский, и высморкался так, как никогда! Подышал он легко, с удовольствием, первый раз в жизни, взмахнул руками и полетел – по-настоящему, как птица. Вот набрал король высоту и посмотрел вниз, на свое собственное, родное королевство. И увидел, что весь его народ страдает, плачет, кричит, ругается или дерется. И никто даже не смеется, не пляшет и песен не поет.
– Наверное, это все из-за меня! – подумал король и пошел на посадку.
Приземлился он и с тех пор уже не был таким грозным. Стал добрым и справедливым.

Король присматривается

Жил-был король. Он был близорукий. Пошел гулять. Смотрит, сидит на дереве лошадь.
– Как же ты туда залезла? – спрашивает король.
– С ветки – на ветку, с ветки – на ветку, – отвечает лошадь.
«Ничего себе, – подумал король, – какая лошадь! По деревьям лазает, да еще человеческим языком владеет».
– Возьму-ка я тебя к себе в конюшню, – говорит. – Ты не против?
– Я-то не против, – отвечает лошадь, – а вот только есть ли в твоей конюшне зеркало, горячая вода, телевизор и телефон? Я без этих условий жить не могу.
Еще больше удивился король.
«Создам ей все условия! – думает. – Ни у кого не будет такой лошади, как у меня».
Стала лошадь спускаться. Присмотрелся король – а это не лошадь, это девица-красавица!!!

– Ну и чудеса, – удивился король. – Отродясь не видывал таких красавиц! Женюсь-ка я на ней. Ни у кого не будет такой жены.

И женился... Хоть он и был близорукий, а счастье свое разглядел!

Король заикается

Жил-был король. Очень стеснительный. Все время краснел и заикался. Вот стал он как-то распекать одного мужика за плохую пахоту.

– Что же ты, – говорит, – б-б-б-братец, пашешь плохо? И жена на тебя жа-а-а-алуется... Придется тебе голову о-о-о-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т... – он хотел сказать "отрубить", но не смог. Только покраснел больше обычного, махнул рукой и простил мужика.

Король скромничает

Жил-был король. Очень скромный. Никто даже не догадывался, что он король, а сам он не любил об этом говорить.

Случилось так, что соседний царь напал на его королевство.

Пришло время решающего сражения. Две армии выстроились на поле боя. И вот выезжает на коне вражеский царь. Саблей размахивает и кричит:

– Где там ваш король? Вызываю его на бой!

Тут выходит из строя обыкновенный будто бы солдат в обыкновенной будто бы шинели и говорит:

– Ну, я король...

Вражеский царь посмотрел на него и давай насмехаться:

– Ты, – кричит, – не король, а дурак какой-то! Ха-ха-ха!!!

Ну, наш король ка-а-ак даст этому царю! Он хоть и скромный был, а сильный. Злой царь с коня свалился и убежал, следом за ним побежало все царское войско.

А король вернулся домой и стал жить так же скромно, как раньше, в обыкновенном пятиэтажном доме, в квартире № 24.

Король проваливается

Жил-был король. Очень хороший. И вот провалился он как-то в яму. А вместо него королем стал один плохой вельможа. Он бил всех и выгонял из домов. Сначала жители терпели жестокость и несправедливость нового правителя, но потом их терпение кончилось.

Они подошли к самому краю страшной ямы и пожаловались доброму королю.

– Чем же я могу вам помочь? – вздохнул бедный король. – Я ведь даже из ямы вылезти не могу!

И как только он это сказал – в тот же миг тысячи рук протянулись и вытащили короля из глубокой ямы!

– Спасибо вам, друзья мои, – заплакал от счастья добрый король.

Пошел он к плохому вельможе, взял его за шиворот и забросил в ту самую яму. И никто его не стал оттуда доставать!

Король поёт: ля-ля-ля!

Жил-был король. У него был сад. А еще у него было море.

– Так, – думал король. – Сад у меня есть! Море есть! Телевизор есть! Магнитофон есть! ...Выходит, у меня есть все!

И он начал танцевать и петь: «Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!»

А сад полить забыл. И сад засох.

А король продолжал танцевать и петь: «Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!»...

Вдруг он оступился и бултых в море!!!

Вылез на берег, ногами затопал, закричал на море, как будто оно виновато. Море обиделось и ушло.

Опомнился король, да поздно: ни сада, ни моря!

Теперь он уже не поет: «Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!» – нет настроения...

Король забывает

Жил-был король. У него была очень плохая память. Вышел раз из дворца, а куда – забыл.

– Куда же, – думает, – я пошел?.. На войну? Не похоже! Только вчера подписали мирный договор. А вдруг они вероломно? Без объявления?!

Собрал король войско, а зачем – забыл.

– Ребятушки, – говорит, – спойте что-нибудь для души!

Заслушался король, а в это время войска соседнего короля вероломно напали на его королевство. Но король совсем забыл, что соседи – его злейшие враги. Он подумал, они тоже петь хотят. Подбежал к ним, расцеловал всех и попросил присоединяться... Ну, делать нечего – стали петь, потом костер разожгли, картошки напекли, хорошо посидели – и решили почаще так встречаться – экспромтом, без объявления...

Где король?

Жил-был король, очень рассеянный. Решил погулять пойти. Стал одеваться. Взял валенки, но надел их вместо ног на руки. Вместо тулупа надел трусы и майку, а вместо шарфа повязал на шею гольфы полосатые. Вышел на мороз – и давай от холода подпрыгивать! Не заметил, как свалилась корона с головы прямо в сугроб. Стал король тулуп застегивать – глядь, а вместо тулупа на нем трусы и майка. Хотел побежать за тулупом – смотрит, а валенки-то у него на руках – на ногах ничего нету – и бежать не в чем! Тогда решил он шарфом потуже завязаться – а вместо шарфа на шее гольфы полосатые!..

– Ой! – вспомнил король. – Я же король. Прикажу – и меня во дворец отнесут, шоколадом горячим напоят.

Но не тут-то было! Корону он потерял – никто и верить не хочет, что он король.

– Пошел отсюда! – кричат. – Самозванец какой-то! У нашего короля и тулуп есть и валенки на ногах и шарф, как у султана, мохеровый! Мы вот ему пожалуемся!

И побежали жаловаться...

А король тем временем отыскал корону, надел тулуп, гольфы выкинул, шарф повязал и сел на трон, король королем.

Тут прибежали к нему разные люди и рассказали про самозванца в трусах. Рассердился король и приказал самозванца того схватить и отрубить ему голову.

– А теперь, – говорит, – мне жарко, я разденусь...

И снимает тулуп. А под тулупом – трусы и майка, точь-в-точь как у того самозванца! Да еще корона скатилась и шарф съехал – все сразу узнали того самого. Схватили его и понесли голову отрубать.
А король кричит:
– Я же король!
А они:
– Знаем, какой ты король. Где твоя корона? Где твой тулуп? Где, в конце концов, шарф мохеровый?!
Принесли короля, положили голову на плаху и говорят палачу:
– Руби! Это самозванец!
А король ему:
– Не руби! Я король!
Задумался палач: рубить или не рубить?
– Ладно, – говорит, – пусть сам король придет и скажет, тогда отрублю.
Побежали за королем. Искали, искали – нет короля! Одна корона валяется под кроватью, да тулуп на троне, да шарф на подоконнике. Принесли все это палачу, показывают. А палач умный был:
– Ну-ка, примерьте на этого самозванца, – говорит.
Надели на короля корону, тулуп с шарфом и ахнули: настоящий король!
Тем дело и кончилось... А все-таки плохо быть рассеянным!

Король и червивая груша

Жил-был король, очень добрый и самый справедливый. Если увидит кого в бедности или в нищете, плачет, жалеет и тут же из своего королевского кармана что-нибудь вынимает: пряник, например, грушу, или денег даст на корову.
И вот однажды захотелось королю пряника мятного. Он и говорит главному своему повару:
– Дай пряника!
– Нету, – отвечает толстый повар, – пряники все розданы.
– И груши розданы? – спрашивает король с тревогой.
– Да вот, – отвечает добрый повар, – завалялась одна, червивая!
И кинул королю грушу.
Только хотел обрадованный король поесть грушу, как появляется бедная старушка и просить покушать чего-нибудь, хотя бы груши какой-нибудь червивой.
Вздохнул король и отдал старушке свою последнюю грушу.
Старушка съела грушу – и вдруг обернулась девицей – да такой красавицей!!! Взмахнула правой рукой – огромная куча пряников насыпалась, взмахнула левой – гора груш, и ни одной червивой!
А потом они поженились... Жили до-о-олго, счастливо, и никогда у них не кончались пряники, никогда не кончались груши.

Король женится

Жил-был король. И вот захотелось ему жениться. А на ком? Конечно, на красавице! А на какой? Столько красавиц набежало! Только король выберет одну, а другая уже тут как тут – еще красивее – не лицом, так фигурой...
Король выбирал-выбирал, три дня и три ночи.
Измучился. Голова заболела, температура поднялась – тридцать девять и девять! Врачи плечами пожимают, не знают, что за болезнь.

Король бедный лежит, охает, но жениться по-прежнему хочет. Красавицы облепили его со всех сторон, как мухи банку с повидлом. А температура – уже сорок!

И король бы, наверное, умер, но... Служила у него на кухне одна кухарка – некрасивая, толстая, но добрая женщина. Пожалела она короля. Разогнала скалкой всех красавиц, взяла короля на руки и понесла его в ЗАГС. Там их и расписали. У короля совсем сил не осталось – он только головой кивнул: мол, да, согласен!

И – о чудо! Как только они поженились, померил король температуру: тридцать шесть и шесть!!!

И уж как он был благодарен своей королеве, бывшей кухарке, как любил ее! А что некрасивая была – так это для кого как! Да и на что они, красавицы-то?..

Король исправляется

Жил-был король. Коварный и злюка страшная! Всем ножки подставлял, и все падали. Ни одна красавица не хотела выходить замуж за этого короля. Пришлось ему взять в жены некрасавицу. Да еще мало того, что нос у нее был длинный-предлинный, – злая оказалась, еще злей короля. Он ей одну ножку подставит, а она ему – две. Да еще затрещину даст и пинка сильного!

Однажды на прогулке поднесли королю хрустальную вазу с золотыми рыбками. Король понес вазу во дворец, а злая королева подставила ему ножку. Король упал, ваза разбилась и рыбки погибли.

Тут король заплакал и собрал народное собрание.

– Не буду, – сказал, – я больше никого обижать и ножки подставлять, только избавьте меня, люди добрые, от этой злюки, она, наверное, ведьма.

Стоят добрые люди, молчат. Не знают, как помочь королю. Только один старенький конюх знал.

– Слушай внимательно, ваше величество, – говорит. – Вот ляжет она, эта ведьма, сегодня спать в вашу королевскую кровать – станет тебя, как обычно, бранить да бить – а ты, ваше величество, молчи – ни-ни! Только она захрапит, хватай ее за нос и говори заклинание:

«Ведьма, ведьма, кыш-кыш-брысь!

Улетай, да не вернись!!!» – тут она и улетит!

Король так и сделал, но королева не улетела. Она проснулась, съездила королю кулаком по голове, высморкалась и снова захрапела.

Утром рассказал печальный король обо всем конюху, а тот говорит:

– Так-так, значит, она не ведьма, а сама заколдованная. Пусти-ка меня на ночь в свою королевскую спальню, я с этим колдовством живо разберусь!

Делать нечего, пустил король конюха в свою королевскую спальню. А тот взял вожжи, запер дверь и давай королеву потчевать. Бьет да приговаривает:

– За короля... за рыбок... за хрустальную вазу... за ту подножку... за другую...

А злая королева:

– Помогите! – кричит. – Убивают!

Жалко ее королю. Ходит он у закрытых дверей:

– Может, хватит? – кричит конюху. – Может, достаточно?

Только старенький конюх никого не слушает, делает свое дело!

Бил до тех пор, пока все злые дела королевы не кончились.

И тут обернулась страшная королева красавицей, каких не видали никогда, и все королю рассказала: как заколдовала ее ведьма – превратила в некрасивую злюку.

– Будешь, – сказала, – злиться и ножки всем подставлять до тех пор, пока какой-нибудь добрый человек не побьет тебя вожжами за все твои злые поступки, которые ты успеешь натворить, – только обязательно добрый, обязательно вожжами и обязательно за все!

Тут король заплакал от счастья, поблагодарил конюха и давай целовать новую королеву!

Король тонет

Жил-был король. Он очень любил свою верную жену, королеву.
И вот плыл он как-то на корабле. Разыгралась буря, и король утонул. Очутился он в подводном царстве. Пришел к морскому царю и говорит:
– Верни меня на землю – там мой царский трон и моя верная жена, – а я тебе дам что попросишь!
Вернул морской царь короля на землю и говорит:
– Отдавай мне свой царский трон и свою верную жену тоже…
Делать нечего: уговор дороже денег!
Вот сел морской царь на королевский трон и думает:
– Не знал я, что на этом троне так неудобно сидеть!
Это потому что у морского царя вместо ног был большущий хвост.
Вечером приполз он в королевскую спальню, лег в королевскую кровать и обнял королевскую жену. А та как закричит, как залепит ему оплеуху, как выпрыгнет из кровати! Это потому что у морского царя вместо теплых рук были холодные плавники.
– Не-е-ет, – подумал царь, – в море лучше!
И прыгнул в свое родное море.
А наш король опять сел на свой родной трон и сказал своей верной жене:
– Большое спасибо!

Король танцует

Жил-был король. Больше всего на свете любил танцевать. Вот раз позвал музыкантов и начал – медленно, плавно. Плечами поводит, головой покачивает...
Тут прибегают слуги и говорят:
– Ваше величество, беда! Напали на нас вероломные соседи. Наступают с севера.
Король головой кивнул: слышу, мол, – а сам руками разводит, ногами выступает, продолжает танцевать.
Тут другие слуги прибежали.
– Ваше величество, беда! Налетела саранча, пожирает посевы. В южных районах.
Король нахмурился, но танцевать не бросил. Наоборот, подпрыгивать стал и ладонями по коленкам хлопать.
Снова прибегают преданные слуги.
– Пожар, ваше величество! Страшный, ужасный пожар!
А король руки поднял и кружится, все быстрее, быстрее...
– Наводнение, ваше величество, страшное, ужасное наводнение! – докладывают подданные. Но ничто не может сбить короля. Ногами дрыгает, руками машет, головой трясет. Хорошо танцует, красиво!
Долго так танцевал, музыканты уже уставать начали. И опять прибегают добрые слуги.
– Хорошие вести с южного направления, – говорят. – Саранча прилетела на пожар и вся сгорела!
Еще полчасика потанцевал король, но уже спокойненько, плавно, медленно. Тогда прибежали другие слуги.
– Хорошие вести с севера! Вражеские войска потонули и сдались без боя.
Потопал король еще немножко, покружился напоследок тихонько, наклонился, распрямился, ладошками повертел, коленками посучил и остановился.
– Доложите-ка мне, – говорит, – обстановку.

– Пожар только что потух, наводнение только что спало, – докладывают слуги. – Все в порядке. Тут и сказке конец.

Король грустит

Жил-был король. Королевство у него было хорошее, здоровье тоже. И жена была красавица, и дочка – еще краше красавица, а вот счастья не было!

– Где же мое счастье? – спрашивал король. Он искал его повсюду: в саду, на кухне, под кроватью – но нигде не находил. Поэтому бродил все время скучный и грустный.

И вот собралась его дочка замуж, за одного соседнего принца. Наступил день свадьбы. Приехали во дворец гости, все веселые, радостные. Один король чернее тучи. А все ходят за ним толпой, шутят, щекочут его и думают:

– Вот сейчас он обрадуется, вот сейчас засмеется!

Пожалел их король и растянул губы в стороны, сделал вид, что улыбается...

Обрадовались тут все, особенно жених с невестой, и давай короля поздравлять, обнимать. Обнимали-обнимали, а потом убежали кто куда. А король остался. Пошел в спальню, лег на кровать и думает:

– Чем так жить, лучше умереть. Никакой радости в этой жизни! Никакого счастья.

И тут чувствует, что кто-то вошел в спальню и сел прямо на него.

Сначала он подумал, что это счастье, но потом ему стало так тяжело, что он понял: это Смерть.

А Смерть говорит:

– Ты хотел умереть? Вот я и пришла. Давай, умирай скорей, мне некогда.

Только король собрался умереть, как прибежали в спальню веселые гости. Стали там танцевать, прыгать, толкаться. И Смерть тоже толкнули, случайно. Смерть обиделась и ушла. А король остался. Только после этого случая он почему-то стал счастливым. Все удивлялись. Он и сам удивлялся. Ходит и радуется.

– И чего, – думает, – я радуюсь? Не знаю! А все равно хорошо...

Король боится

Жил-был король. Очень трусливый. Всего боялся. И людей, и собак, и пауков с тараканами. Была у него, конечно, жена. Но ее он тоже боялся. Вообще чуть что, он сразу бежал в потайной чулан и там затаивался. На час, на два... Но бывало, что и целую неделю не показывается.

Никто, конечно, такого короля не слушался, собаки на него лаяли, а родная жена совсем не уважала.

И вот однажды сидел король на берегу тихой речки, удил рыбу. Хорошо было: тихо, спокойно и совсем не страшно. Вдруг вылезает из речки огромный ЧУДО-ЮДО, знаменитый людоед. Тут король т а к испугался, что даже в чулан не убежал, а застыл неподвижно. Глазами хлопает, сердце стучит, дыхания нету! Но главное: С Т Р А Х ужасный!!! И говорит король ЧУДУ-ЮДЕ, знаменитому людоеду:

– П-п-п-п-п-п-п-п-пожалуйста, съешь меня побыстрее, а то этот С Т Р А Х такой ужасный, страшнее смерти. Т-т-терпеть невозможно!

– А ты терпи! – заорал ЧУДО-ЮДО. – Я еще не проголодался! Утром пару толстяков съел – перевариваю. Сиди, жди своего часа. И не шевелись!

Делать нечего, сидит король, ждет, не шевелится. Даже не дышит...

День прошел, а ЧУДО-ЮДО все еще не проголодался. СТРАХ же королевский все ужасней и ужасней становится.

Второй день прошел – не проголодался ЧУДО-ЮДО.

А король бедный из последних сил терпит, СТРАХ-то его совсем ужасный стал, ужасней некуда.

Третий день прошел. Наконец ЧУДО-ЮДО проголодался, смотрит, а король шевелится вовсю! Пляшет даже и песню поет!!!

– А где же твой С Т Р А Х ужасный? – спрашивает людоед.

– Не знаю, – пожал король плечами, – нету никакого С Т Р А Х А, ушел куда-то.

– Выходит, ты меня больше не боишься?!?! – заревел ЧУДО-ЮДО страшным-ужасным голосом. А король ему спокойненько:

– Не-а! – повернулся и пошел не спеша по дорожке.

Не ожидал людоед такой наглости, отступил на шаг, да и полетел с обрыва. Не повезло ему, головой ударился... Утонул, одним словом.

А король с тех пор уже ничего не боялся. Не было в королевстве человека смелее нашего короля. Все его слушались, собаки боялись, а королева любила его, безумно...

Король обманывает смерть

Жил-был король. У него было огромное королевство, прекрасный дворец, самые лучшие мудрецы-советники. И вдруг к нему пришла Смерть.

– Приготовься, – говорит, – завтра вечером я тебя заберу.

– Не может быть! – возмутился король. – Я же великий король. У меня самое большое в мире королевство и самый красивый в мире дворец! Наверное, это какая-то ошибка.

Посмотрела Смерть в свою книгу и говорит:

– Нет никакой ошибки. Так и написано: «Великий король, у которого самое большое королевство и самый красивый дворец». Так что все сходится. Завтра в восемнадцать тридцать будь готов... Только одного я не пойму! – пробормотала Смерть, уткнувшись в книгу. – Скажи мне, как же ты успеешь?..

Но король уже убежал, не дослушав ее до конца. Пожала тогда Смерть своими страшными плечами и тоже исчезла...

А король прибежал к мудрым советникам.

– Посоветуйте, – говорит, – что делать? Как Смерть обмануть?

Долго думали мудрецы и наконец придумали.

– Ваше величество, – говорят, – вы совсем забыли про своего коня, самого быстрого в мире! Садитесь на него и скачите прочь что есть духу. Смерть завтра придет за вами во дворец, а вас и след простыл... Попробуй, догони. Так вы спасете свою жизнь. А потом потихоньку вернетесь, когда Смерть про вас забудет.

– Ну спасибо, друзья мои! – обрадовался великий король. – Здорово придумали. Она хотела, чтоб я ее дожидался, а я улизну!

С этими словами король вскочил на коня и помчался прочь на предельной скорости. Целый день мчался, потом еще целую ночь, без остановки, и опять целый день, до вечера. Да так быстро, что не выдержал конь, рухнул бездыханный. Смотрит король: стоит сарайчик серенький.

– Все, от смерти я ушел, – подумал король, – теперь можно отдохнуть.

И зашел в сарайчик. А там Смерть сидит.

– Молодец, – говорит, – все-таки успел! На моих ровно восемнадцать тридцать. Тютелька в тютельку. А я еще вчера сомневалась. В книге-то моей ясно написано, что умереть тебе суждено в этом сарайчике. Вот я и подумала: а успеешь ли? Ведь такое расстояние! Сижу здесь как на иголках: успеет – не успеет, успеет – не успеет? Но ты успел! Слава тебе и твоему коню, вечная слава! А теперь пошли.

Она взяла короля за руку, и они пошли...

Король красуется

Жил-был король. Очень любил красоваться и быть в центре всеобщего внимания. Поэтому он одевался всегда в одежды яркие и необыкновенные.

Одевался и шел по улице. Все, конечно, только на него и смотрели. И шептали:

– Король... Король...

И королю это было очень приятно.

Вот шел он как-то в желтых штанах по улице. А на голову надел большущую красную шляпу. И все его, конечно, замечали. Заметила его и птица Рух. Эта гигантская птица с размахом крыльев в пятьсот метров как раз пролетала над столицей королевства и искала чего-нибудь к ужину для своих птенцов. Камнем упала она на землю, огромными крыльями закрыла небо и солнце. Наступила тьма. А когда снова посветлело, то все увидели, что король исчез.

– Наверное, ужинать пошел, – решили жители и занялись своими делами.

Птица Рух притащила короля на вершину отвесной скалы, бросила его в свое гнездо и говорит птенцам:

– Ешьте!

Тут красная шляпа с короля слетела, да и штаны тоже.

– Фу, – запищали птенцы, – кого ты нам принесла? Это же человек!

– Не может быть! – удивилась подслеповатая птица.

Присмотрелась – точно, человек...

– Что ж ты, дурак, так расфуфырился?! – закричала она на короля. – Я думала, это зверь какой-то, необыкновенно вкусный, а ты, оказывается, человек. Мы, Рухи, людей не едим, у вас вкус отвратительный. Ну ладно, раз уж я тебя притащила, будешь служить моим птенчикам.

И остался король в гнезде служить птенчикам. Мама им быка принесет, а король его на три части делит, чтобы поровну. Ну а если ошибался, птенцы его больно клевали. Тяжело королю приходилось. Особенно когда птица в гнездо китов приносила.

Прошло три года. И вот однажды, когда птенцы спали, а мать собиралась лететь за добычей, королю удалось незаметно прицепиться за последнее перышко ее хвоста. Летит птица, летит, ничего не замечает.

И вдруг последнее перышко ее хвоста отрывается и падает вниз. Падает плавно и медленно, как всякое птичье перышко. И так же мягко и плавно опускается вниз король. Приземлился прямо на свою столицу, на ту самую улицу. Но только совершенно голый – одежду всю птенцы отняли – и грязный. Пришел во дворец, а там его давно уже жена ждет не дождется.

Помыла она короля в ванной и говорит:

– Ты, наверное, хочешь надеть что-нибудь поярче и пооригинальнее?

– Нее-е-е-е-е-е-ет! – закричал король на все королевство, выскочил из ванны как ошпаренный и побежал к садовнику. Одолжил у него серые брюки, серенькую рубашку и сероватые туфли. Вышел во всем этом на улицу. Никто его, конечно, не замечает. Он-то знает, что он король, а больше никто не догадывается!

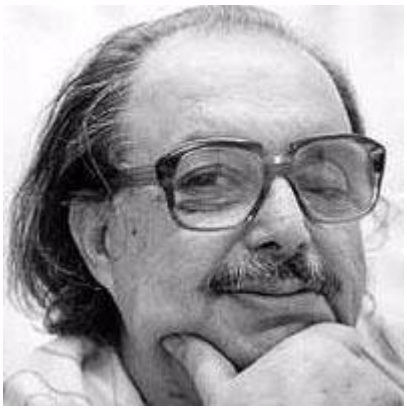
И так королю хорошо стало, так хорошо!!!

Тут и сказке конец.[82]

[82] http://skazki-s-sedova.narod.ru/index/0-16

Феликс Кривин

Справочный материал



Феликс Кривин родился в 1927 г. в г. Мариуполе. В 1933 г. семья переехала в Одессу. После эвакуации - Измаил. Окончил Киевский педагогический институт. С 1955 г. жил в Ужгороде. С 1998 г. живет в Израиле. Кривин с полным основанием мог сказать, что он родом из Одессы: юмор Кривина искрометный, тонкий, жизненный - оттуда, из тех наблюдений, встреч, находок. Он в 80-е годы - король юмора. Меткие эпиграммы, афоризмы с восторгом читались в журнале "Юность". У него свой стиль, свое виденье мира, его не спутаешь ни с кем. Вещи в его скетчах, пословицах, перефразе приобретают особый смысл. Так мы узнаем, что есть удивительная страна Грамматики. Путешествуя по этой стране, ты делаешь открытие за открытием, узнаешь, какую силу неожиданно приобретают частицы, что есть слова добрые и коварные. Например, буква "р". Ведь одно дело, когда тебя почитают, а другое, когда прочитают. Поступок становится проступком. Вы легли поспать, но вам придется проспать. Нужно поверить в силу слова, а если не хотите, то можете проверить. В тяжелые, неласковые годы Кривин в Киеве (!) выпускает газету "Антизнание - сила". Авторы газеты дерзко и наивно объявили о создании новой партии "Союза ясноголовых". Это было время борьбы с космополитизмом: Но все, к счастью, обошлось. Потом, много позже, появились сборники "Ученые сказки", "Хвост павлина", "Принцесса грамматики". По своим убеждениям, творческим интересам, образу жизни Феликс Давыдович ощущает себя Гражданином вселенной. "Я ненавижу антисемитизм. Я ненавижу шовинизм. Я ненавижу национализм, определяющий достоинства человека по крови... Мне нравятся люди, которые не умеют отличить человека по национальности". В этом философия Кривина. Он мыслитель, он использует разные жанры - и в них четкость, ясность, ничего лишнего. (с) Нелли Зингерман [83]

Сказки с моралью[84]

- Эге, отстаешь, отстаешь! - подгоняет Большая Стрелка Маленькую. - Я уже вон сколько прошла, а ты все топчешься на месте! Плохо же ты служишь нашему времени!

Топчется Маленькая Стрелка, не успевает. Где ей за Большой Стрелкой поспеть!

Но ведь показывает она часы, а не минуты.

ДВА КАМНЯ

У самого берега лежали два камня - два неразлучных и давних приятеля. Целыми днями грелись они в лучах южного солнца и, казалось, счастливы были, что море шумит в стороне и не нарушает их спокойного и мирного уюта.

Но вот однажды, когда разгулялся на море шторм, кончилась дружба двух приятелей: одного из них подхватила забежавшая на берег волна и унесла с собой далеко в море.

---

[83] https://www.livelib.ru/author/170848-feliks-krivin

[84] Авт.сб. "Полусказки". Изд. "Карпаты", Ужгород, 1964

Другой камень, уцепившись за гнилую корягу, сумел удержаться на берегу и долго не мог прийти в себя от страха. А когда немного успокоился, нашел себе новых друзей. Это были старые, высохшие и потрескавшиеся от времени комья глины. Они с утра до вечера слушали рассказы Камня о том, как он рисковал жизнью, какой подвергался опасности во время шторма. И, ежедневно повторяя им эту историю, Камень в конце концов почувствовал себя героем.

Шли годы... Под лучами жаркого солнца Камень и сам растрескался и уже почти ничем не отличался от своих друзей - комьев глины.

Но вот набежавшая волна выбросила на берег блестящий Кремень, каких еще не видали в этих краях.

- Здравствуй, дружище! - крикнул он Растрескавшемуся Камню.

Старый Камень был удивлен.

- Извините, я вас впервые вижу.

- Эх, ты! Впервые вижу! Забыл, что ли, сколько лет провели мы вместе на этом берегу, прежде чем меня унесло в море?

И он рассказал своему старому другу, что ему пришлось пережить в морской пучине и как все-таки там было здорово интересно.

- Пошли со мной! - предложил Кремень. - Ты увидишь настоящую жизнь, узнаешь настоящие бури.

Но его друг. Растрескавшийся Камень, посмотрел на комья глины, которые при слове "бури" готовы были совсем рассыпаться от страха, и сказал:

- Нет, это не по мне. Я и здесь прекрасно устроен.

- Что ж, как знаешь! - Кремень вскочил на подбежавшую волну и умчался в море.

...Долго молчали все оставшиеся на берегу. Наконец Растрескавшийся Камень сказал:

- Повезло ему, вот и зазнался. Разве стоило ради него рисковать жизнью? Где же правда? Где справедливость?

И комья глины согласились с ним, что справедливости в жизни нет.

ИГОЛКА В ДОЛГ

Не дают Ежу покоя.

Только он свернется, уляжется в своей норе, чтобы соснуть месяц-другой, пока холода отойдут, а тут стук.

- Разрешите войти?

Выглянет Еж за порог, а там - Хомяк-скорняк, шубный мастер.

- Простите, что побеспокоил, - извиняется Хомяк. - Не одолжите ли иголочку?

Что ему ответишь? Мнется Еж - и дать жалко, и отказать совестно.

- Я бы рад, - говорит, - я бы с удовольствием. Да у меня самого их маловато.

- Мне только на вечер, - просит Хомяк. - Шубу заказчику кончить нужно, а иголка сломалась.

С болью вытаскивает ему Еж иголку:

- Только прошу вас: кончите работу - сразу верните.

- Конечно, а как же! - заверяет Хомяк и, взяв иголку, торопится заканчивать шубу заказчику.

Еж возвращается в норку, укладывается. Но едва начинает дремать, снова стук.

- Здравствуйте, вы еще не спите?

На этот раз явилась Лиска-модистка.

- Одолжите иголочку, - просит. - Где-то моя затерялась. Искала-искала, никак не найду.

Еж и так и сяк - ничего не получается. Приходится и Лисе одолжить иголочку.

После этого Ежу наконец удается заснуть. Лежит он, смотрит свои сны, а в это время Хомяк уже шубу кончил и спешит к Ежу, несет ему иголку.

Подошел Хомяк к норке Ежа, постучал раз, другой, а потом и внутрь заглянул. Видит: Еж спит, посапывает. "Не стану его будить, - думает
Хомяк. - Воткну ему иголку на место, чтоб зря не беспокоить, а поблагодарю в другой раз, при случае".

Нашел на ежовой спине место посвободнее и сунул туда иглу. А Еж как подскочит! Не разобрался, конечно, со сна.

- Спасите! - кричит. - Убили, зарезали!

- Не беспокойтесь, - вежливо говорит Хомяк. - Это я вам иголку вернул. Большое спасибо.

Долго ворочался Еж, не мог уснуть от боли. Но все-таки уснул и, забыв о Хомяке, снова за свои сны принялся. Как вдруг...

- Ай! - завопил Еж. - Спасите, помогите!

Пришел немного в себя, смотрит - возле него Лиска-модистка стоит, улыбается.

- Я вас, кажется, немного испугала. Это я иголочку принесла. Уж так спешила, так спешила, чтобы вы не беспокоились.

Свернулся Еж клубком, брюзжит себе потихоньку. А чего брюзжать-то? С болью давал, с болью и назад получает.

"ИСТОРИЯ КАПЛИ", -

написал я и посадил на бумаге кляксу.

- Вот хорошо, что ты решил обо мне написать! - сказала Клякса. - Я так тебе благодарна!

- Ты ошибаешься, - ответил я. - Я хочу написать о капле.

- Но ведь я тоже капля! - настаивала Клякса. - Только чернильная.

- Чернильные капли разные бывают, - сказал я. - Одни пишут письма, упражнения по русскому языку и арифметике, вот такие истории, как эта. А другие, вроде тебя, только место занимают на бумаге. Ну что я могу написать о тебе хорошего?

Клякса задумывается.

В это время возле нее появляется маленький Лучик. Листья деревьев за окном пытаются не пустить его в комнату. Они шуршат ему вслед:

- Не смей водиться с этой неряхой! Ты испачкаешься!

Но Лучик не боится испачкаться. Ему очень хочется помочь чернильной капле, которая так неудачно села на бумагу.

Я спрашиваю у Кляксы:

- Ты действительно хочешь, чтобы я о тебе написал?

- Очень хочу, - признается она.

- Тогда ты должна это заслужить. Доверься Лучику. Он заберет тебя, освободит от чернил, и ты станешь чистой, прозрачной каплей. Для тебя найдется дело, только смотри не отказывайся ни от какой работы.

- Хорошо, - соглашается Капля. Теперь ее уже можно так называть.

Я стою у окна и смотрю на тучи, которые уплывают вдаль.

Где-то там, среди них, и моя Капля. И я машу ей рукой:

- До свидания, Капля! Счастливого пути!

А далеко-далеко, в знойной степи, качается на ветру Колос. Он знает, что должен вырасти большим и что для этого ему нужна влага. Он знает, что без дождя высохнет на солнце и ничем не отблагодарит людей, которые так заботливо за ним ухаживают. Об одном только не знает Колос: о нашем уговоре с Каплей.

А Капля летит ему на помощь, и спешит, и подгоняет ветер:

- Скорее, скорее, мы можем не успеть!

Какая это была радость, когда она Наконец прибыла на место! Капля даже не подумала, что может разбиться, падая с такой высоты. Она сразу устремилась вниз, к своему Колосу.

- Ну, как дела? Еще держишься? - спрашивает она, приземляясь.

И мужественный Колос отвечает:

- Держусь, как видишь. Все в порядке.

Но Капля видит, что не все в порядке. Она с большим трудом прогрызает черствую землю и доходит до самого корня Колоса. Потом она принимается его кормить.

Колос оживает, распрямляется, чувствует себя значительно бодрее.

- Спасибо, Капля, - говорит он. - Ты мне очень помогла.

- Пустяки! - отвечает Капля. - Я рада, что была тебе полезна. А теперь - прощай. Меня ждут в других местах.

В каких местах ее ждут, Капля не говорит. Попробуй теперь ее найти, - сколько на земле рек, озер, морей и океанов, и, можете себе представить, сколько в них капель!

Но свою-то Каплю я должен найти! Ведь я сам отправил ее в далекий путь, да еще пообещал о ней написать.

Паровоз, тяжело дыша, останавливается на узловой станции. Здесь ему нужно отдохнуть, запастись водой и горючим, чтобы с новыми силами двинуться дальше.

Журчит вода, наполняя его котлы. И - смотрите: в струе воды показалось что-то знакомое. Ну да, конечно же, это наша Капля!

Трудно Капле в паровозном котле! Жаркая здесь работа! Капля не только упарилась, но совсем превратилась в пар. И все же она неплохо справляется
со своим делом.

Другие капли даже начинают прислушиваться к ее мнению по различным вопросам, обращаются к ней за советом, а она, собрав вокруг себя товарищей, командует:

- Раз, два - взяли! Ну-ка, еще поднажми!

Капли нажимают еще, и паровоз мчится, оставляя позади одну станцию за другой.

А потом Капля прощается со своими товарищами: кончилась ее смена.
Паровоз выпускает пары, и она покидает котел, а ее товарищи кричат ей вслед:

- Не забывай нас. Капля! Может, еще встретимся!

Стоит суровая зима, земля мерзнет и никак не может согреться. А ей нельзя мерзнуть. Ей нужно сохранить свое тепло, чтобы отдать его весной деревьям, травам, цветам. Кто защитит землю, кто прикроет ее и сам не побоится холода?

Конечно, Капля.

Правда, теперь ее трудно узнать: от холода Капля превратилась в Снежинку.

И вот она медленно опускается на землю, прикрывает ее собой. Охватить Снежинка может очень небольшое пространство, но у нее много товарищей, и всем вместе им удается уберечь землю от холода.

Снежинка лежит, тесно прижавшись к земле, как боец в белом халате. Злобно трещит Мороз, он хочет добраться до земли, чтобы ее заморозить, но его не пускает отважная Снежинка.

- Погоди же! - грозится Мороз. - Ты у меня запляшешь!

Он посылает на нее сильный Ветер, и Снежинка действительно начинает плясать в воздухе. Ведь она очень легка, и Ветру с ней справиться нетрудно.

Но только Мороз, торжествуя победу, отпускает Ветер, как Снежинка опять опускается на землю, припадает к ней, не дает Морозу отобрать у земли тепло.

А потом ей на помощь приходит Весна. Она ласково согревает Снежинку и говорит:

- Ну вот, спасибо тебе, уберегла ты мою землю от Мороза.

Очень приятно, когда тебя хвалят. Снежинка буквально тает от этой похвалы и, снова превратясь в Каплю, бежит со своими товарищами в шумном весеннем потоке.

- Вот досада! Опять я кляксу посадил на бумагу! Ну скажи, чему ты улыбаешься. Клякса?

- Теперь-то ты напишешь обо мне, как обещал?

- Ах, это опять ты! Но я ведь предупреждал тебя, что ты должна заняться полезным делом. А ты, как была, так и осталась Кляксой.

- Ну, нет! Теперь я - настоящая Капля. И я занималась полезным делом.

- Почему же ты опять стала Кляксой?

Клякса хитро подмигивает мне:

- Иначе ты бы меня не узнал и не стал бы писать обо мне.

На этот раз я подмигиваю Кляксе:

- А ведь я написал о тебе. Так что ты зря волновалась. Вот послушай.

И я читаю Кляксе эту историю.

- Ну как, все правильно?

- Правильно, - с удовольствием соглашается Клякса. Но больше ничего не успевает добавить: появляется наш общий знакомый Лучик и начинает ее тормошить:

- Пойдем, Капля! Нечего здесь рассиживаться на бумаге!

И они улетают.

А я опять стою у окна и смотрю на тучи, уплывающие вдаль. Где-то там, в этих тучах, и моя Капля. И я машу ей рукой:

- До свидания, Капля! Счастливого пути!

ШКОЛА

Пошел Гусь в огород посмотреть, все ли там в порядке. Глядь - на капусте кто-то сидит.

- Ты кто? - спрашивает Гусь.

- Гусеница.

- Гусеница? А я - Гусь, - удивился Гусь и загоготал. - Вот здорово - Гусь и Гусеница!

Он гоготал и хлопал крыльями, потому что такого интересного совпадения ему никогда встречать не приходилось. И вдруг замолчал.

- А ты почему не хлопаешь? - спросил он почти обиженно.

- У меня нечем, - объяснила Гусеница. - Посмотри: видишь - ничего нет.

- У тебя нет крыльев! - догадался Гусь. - Как же ты летаешь в таком случае?

- А я не летаю, - призналась Гусеница. - Я только ползаю.

- Ага, - припомнил Гусь, - рожденный ползать летать не может. Жаль, жаль, тем более, что мы почти однофамильцы...

Они помолчали. Потом Гусь сказал:

- Хочешь, я научу тебя летать? Это совсем не трудно, и если у тебя есть способности, ты быстро научишься.

Гусеница охотно согласилась.

Занятия начались на следующий день.

- Вот это земля, а это - небо. Если ты ползаешь по земле, то ты просто ползаешь, а если ты ползаешь по небу, то ты уже не ползаешь, а летаешь...

Так говорил Гусь. Он был силен в теории.

Из-под капусты высунулась чья-то голова:

- Можно и мне? Я буду сидеть тихо.

- Ты что - тоже Гусеница?

- Нет, я Червяк. Но мне бы хотелось летать... - Червяк замялся и добавил, немного смутившись: - Это у меня такая мечта с детства.

- Ладно, - согласился Гусь. - Сиди и слушай внимательно. Итак, мы остановились на небе...

Они занимались каждый день с утра до полудня. Особенно старался Червяк. Он сидел не шелохнувшись и смотрел учителю в рот, а по вечерам старательно готовил уроки и даже повторял пройденный материал. Не прошло и месяца, как Червяк уже мог безошибочно показать, где находится небо.

Гусеница не отличалась такой прилежностью. На уроках она занималась бог знает чем: плела паутину и обматывала себя, пока не превратилась из живой, подвижной Гусеницы в какую-то восковую куколку.

- Так у нас дело не пойдет, - делал ей замечание Гусь. - Теперь я вижу, что ты, Гусеница, никогда не будешь летать. Вот Червяк полетит - за него я спокоен.

Червяк и тут прилежно слушал учителя. Ему было приятно, что его хвалят, хотя он и прежде не сомневался, что полетит: ведь у него по всем предметам были пятерки.

И вот однажды, придя на занятия. Гусь застал одного Червяка.

- А где Гусеница? - спросил Гусь. - Она что - больна?

- Она улетела, - сказал Червяк. - Вон, посмотрите. Видите?

Гусь посмотрел, куда показывал Червяк, и увидел Бабочку. Червяк уверял, что это - Гусеница, только теперь у нее выросли крылья. Бабочка легко порхала в воздухе, и даже сам Гусь не смог бы за ней угнаться, потому что хоть он и был силен в теории, но все-таки был домашней птицей.

- Ну, ладно, - вздохнул Гусь, - продолжим занятия.

Червяк сосредоточенно посмотрел на учителя и приготовился слушать.

- Итак, - сказал Гусь, - о чем мы говорили вчера? Кажется, мы остановились на небе?..

СКАЗКА ПРО КОЗЛИКА

Жил-был у бабушки серенький козлик.

Пошел он однажды в лес погулять - зверей посмотреть, себя показать. А навстречу ему - волки.

- Привет, старик! - говорят. - Куда топаешь?

Козлик чуточку струхнул, но ему было приятно, что такие взрослые волки с ним, как с равным, разговаривают, и это придало ему смелости.

- Здравствуйте, ребята! - сказал он, по примеру волков клацнув зубами.

- Вот вышел немного проветриться.

- Прошвырнемся? - спрашивают волки.

Козлик не знал, что такое "Прошвырнемся", ни догадался, что волки приглашают его в компанию.

- Это можно! - тряхнул он едва пробивающейся бородкой.

- Тогда подожди здесь, - говорят волки. - Тут одно дело есть. Мы - мигом.

Отошли в сторонку и советуются, как с козликом быть: сейчас сожрать или на завтра оставить?

- Вот что, мальчики, - говорит один. - Жрать его нет смысла. Каждому на зуб - и то не хватит. А в селе у него приличные связи, они нам всегда сгодятся. Отпустим его. Хорошо иметь своего козла отпущения.

Вернулись волки к козлику.

- Слушай, старик, нужна помощь. Мотнись в село, приведи кого-нибудь из приятелей.

Пошел козлик, привел двух баранов.

- Вот, знакомьтесь, - говорит, - это мои приятели.

Стали волки с баранами знакомиться - только шерсть с баранов полетела. Козлик хотел было остановить волков, но побоялся, что они его засмеют, что скажут: "Эх ты, бабушкин козлик!", и не остановил, а только сердито боднул баранью тушу.

- Ишь ты, какой кровожадный! - с уважением заметили волки и этим окончательно покорили козлика.

- Подумаешь - два барана! - сказал он. - Я могу еще больше привести, если надо.

- Молодец, старик! - похвалили его волки. - Давай, веди еще!

Побежал козлик.

Но едва прибежал в село, его схватили и бросили в сарай: кто-то видел, как он баранов в лес уводил.

Услышала бабушка, что козлика ее посадили, и - в колхозное правление.

- Отпустите его, - просит, - он еще маленький, несовершеннолетний.

- Да он двух баранов загубил, твой козлик, - отвечают бабке в правлении.

Плачет бабушка, просит, домой не идет. Что с ней делать - отдали ей козлика.

А козлик, не успел еще на порог дома ступить - снова в лес. Волки его уже ждали.

- Ну что, где твои бараны? - спрашивают.

Стыдно было козлику рассказывать, как бабушка его выручала.

- Я сейчас, - говорит он волкам. - Вы только подождите. Я их приведу, вот увидите.

Опять привел, опять попался. И опять его бабушка выручила. А потом бараны умнее стали: не хотят водиться с козликом, не верят ему.

Злятся волки, подтягивают животы. Смеются над козликом:

- Тоже, герой нашелся! Сказано - бабушкин козлик!

Обидно козлику, а что делать - не знает.

- Ты нас к бабке своей сведи, - предлагают волки. - Может, она нас хоть капустой угостит. Да и неудобно, что мы с ней до сих пор не знакомы.

- И верно! - обрадовался козлик. - Бабка у меня хорошая, она вам понравится.

- Конечно, - соглашаются волки. - Еще как понравится!

- И капуста понравится, - обещает козлик.

- Ну, это тебе видней, - уклончиво отвечают волки.

Привел их козлик домой.

- Вы пока знакомьтесь с бабушкой, а я сбегаю в огород, капусты нарву.

- Валяй, - говорят волки. - Мы здесь сами найдем дорогу.

Побежал козлик. Долго не возвращался. Известное дело - пусти козла в огород!

Когда принес капусту, волков уже не было. Не дождались они - ушли. Не было и бабушки. Бегал козлик по дому, искал ее, звал - да где там!

Остались от бабушки рожки да ножки.

ХИТРАЯ КОШКА

Бежит Мышка по коридору, вдруг кто-то ее цап за шиворот! Скосила Мышка глаза, глядь - Кошка. От Кошки добра не жди, и решила Мышка сделать вид, будто она не узнала Кошку.

- Скажите, пожалуйста, вы не видели Кошку?

Кошка прищурилась:

- А вам что - нужна Кошка?

- Д-да, - пискнула Мышка.

"Что-то тут не то, - подумала Кошка. - Но всякий случай правды говорить не следует".

- Кошка сидит в кабинете, - схитрила Кошка. - Она там всегда сидит... У нее там работа.

- Может, мне ее там поискать? - предложила Мышка, не совсем уверенная, что ее отпустят.

- Что ж, поищите, - разрешила Кошка, а про себя подумала: "Беги, беги, так ты ее и найдешь. Вот так дураков учат!"

Побежала Мышка. Сидит Кошка, ухмыляется: "Ай да я, ай да Кошка! Хорошо Мышку за хвост провела!"

А потом спохватилась: "Как же так? Выходит, я ее за здорово живешь отпустила? Ладно, попадешься ты мне в другой раз!"

И в другой раз попалась Мышка.

- Ну как, нашли вы тогда Кошку? - спросила Кошка, зло радуясь.

- Да, да, не беспокойтесь, - заторопилась Мышка, а сама так и смотрит, куда бы улизнуть.

"Ну, погоди, - решила Кошка. - Сейчас я тебя поймаю!"

- Значит, Кошка в кабинете сидит?

- В кабинете.

- И вы можете ее привести?

- М-могу...

- Ну-ка приведите.

Побежала Мышка.

Час прошел, и два, и три - нет Мышки. Конечно, где ей Кошку привести, когда Кошка - вот она! - здесь сидит.

Хорошо Кошка Мышку обхитрила!

ХВОСТ

Надоела Зайцу нужда, и решил он продать свой хвост.

Пришел на базар, взобрался на холмик и ждет покупателей. Увидели Зайца лисицы, выстроились в очередь. Задние нажимают на передних, спрашивают друг дружку:

- Чего дают?

- Да вот - хвост выбросили. Не знаю только, всем ли хватит.

- Ты, гляди, не помногу давай, - кричат Зайцу. - Чтобы всем хватило!

- Да я не помногу, - косится Заяц на свой хвостик, - только не жмите так, пожалуйста!

Жмут лисицы, мнут друг дружке бока, каждая боится, что ей не достанется.

- Трудно нынче с хвостами, - жалуются лисицы. - Слыхано ли дело - за хвост две морковки!

- Нет, не слыхано, - соглашается Заяц. - Просто этот хвост мне дорог как память. Я его от родителей получил... Ой, не жмите, пожалуйста!..

Но его уже никто не слушал. Покупатели сбились в кучу, каждый норовил вцепиться в хвост. А когда куча рассеялась. Заяц куда-то делся и на земле остался только его хвостик.

Только хвостик - и никакой возле него очереди.

ПОЛУПРАВДА

Купил Дурак на базаре Правду. Удачно купил, ничего не скажешь. Дал за нее три дурацких вопроса да еще два тумака сдачи получил и - пошел.

Но легко сказать - пошел! С Правдой-то ходить - не так просто. Кто пробовал, тот знает. Большая она. Правда, тяжелая. Поехать на ней - не поедешь, а на себе нести - далеко ли унесешь?

Тащит Дурак свою Правду, мается. А бросить жалко. Как-никак, за нее заплачено.

Добрался домой еле жив.

- Ты где, Дурак, пропадал? - набросилась на него жена.

Объяснил ей Дурак все, как есть, только одного объяснить не смог: для чего она, эта Правда, как ею пользоваться.

Лежит Правда среди улицы, ни в какие ворота не лезет, а Дурак с женой держат совет - как с нею быть, как ее приспособить в хозяйстве.

Крутили и так и сяк, ничего не придумали. Даже поставить Правду, и то негде. Что ты будешь делать - некуда Правды деть!

- Иди, - говорит жена Дураку, - продай свою Правду. Много не спрашивай - сколько дадут, столько и ладно. Все равно толку от нее никакого.

Потащился Дурак на базар. Стал на видном месте, кричит:

- Правда! Правда! Кому Правду - налетай!

Но никто на него не налетает.

- Эй, народ! - кричит Дурак. - Бери Правду - дешево отдам!

- Да нет, - отвечает народ. - Нам твоя Правда ни к чему. У нас своя Правда, не купленная.

Но вот к Дураку один Торгаш подошел. Покрутился возле Правды, спрашивает:

- Что, парень. Правду продаешь? А много ли просишь?

- Немного, совсем немного, - обрадовался Дурак. - Отдам за спасибо.

- За спасибо? - стал прикидывать Торгаш. - Нет, это для меня дороговато.

Но тут подоспел еще один Торгаш и тоже стал приценяться.

Рядились они, рядились и решили купить одну Правду на двоих. На том и сошлись.

Разрезали Правду на две части. Получились две полуправды, каждая и полегче, и поудобнее, чем целая была. Такие полуправды - просто загляденье.

Идут торгаши по базару, и все им завидуют. А потом и другие торгаши, по их примеру, стали себе полуправды мастерить.

Режут торгаши правду, полуправдой запасаются.

Теперь им куда легче разговаривать между собой.

Там, где надо бы сказать: "Вы подлец!" - можно сказать: "У вас трудный характер". Нахала можно назвать шалуном, обманщика - фантазером.

И даже нашего Дурака теперь никто дураком не назовет.

О дураке скажут: "Человек, по-своему мыслящий".

Вот как режут Правду!

СОСЕДКИ

Вот здесь живет Спесь, а через дорогу от нее - Глупость. Добрые соседки, хоть характерами и несхожи: Глупость весела и болтлива. Спесь - мрачна и неразговорчива. Но - ладят.

Прибегает однажды Глупость к Спеси:

- Ох, соседка, ну и радость у меня! Сколько лет сарай протекал, скотина хворала, а вчера крыша обвалилась, скотину прибило, и так я одним разом от двух бед избавилась.

- М-да, - соглашается Спесь. - Бывает...

- Хотелось бы мне, - продолжает Глупость, - отметить это событие. Гостей пригласить, что ли. Только кого позвать - посоветуй.

- Что там выбирать, - говорит Спесь. - Всех зови. А то, гляди, подумают, что ты бедная!

- Не много ли - всех? - сомневается Глупость. - Это ж мне все продать, все с хаты вынести, чтоб накормить такую ораву...

- Так и сделай, - наставляет Спесь. - Пусть знают.

Продала Глупость все свое добро, созвала гостей. Попировали, погуляли на радостях, а как ушли гости - осталась Глупость в пустой хате. Головы
приклонить - и то не на что. А тут еще Спесь со своими обидами.

- Насоветовала, - говорит, - я тебе - себе на лихо. Теперь о тебе только и разговору, а меня - совсем не замечают. Не знаю, как быть. Может, посоветуешь?

- А ты хату подожги, - советует Глупость. - На пожар-то они все сбегутся.

Так и сделала Спесь: подожгла свою хату.

Сбежался народ. Смотрят на Спесь, пальцами показывают.

Довольна Спесь. Так нос задрала, что с пожарной каланчи не достанешь.

Но недолго пришлось ей радоваться. Хата сгорела, разошелся народ, и осталась Спесь посреди улицы. Постояла, постояла, а потом - деваться некуда - пошла к Глупости:

- Принимай, соседка. Жить мне теперь больше негде.

- Заходи, - приглашает Глупость, - живи. Жаль, что угостить тебя нечем: пусто в хате, ничего не осталось.

- Ладно, - говорит Спесь. - Пусто так пусто. Ты только виду не показывай!

С тех пор и живут они вместе. Друг без дружки - ни на шаг. Где Глупость - там обязательно Спесь, а где Спесь - обязательно Глупость.

ЯЩИК

Вы, конечно, слышали о Ящике, о простом фанерном Ящике, который долгое время был у всех на посылках, а потом, испещренный со всех сторон адресами, настолько повысил свое образование, что его перевели в кладовку на должность главного кладовщика.

Работа, как говорят, не пыльная. Правда, если приглядеться поближе, пыли в кладовке всегда хватало, но зато у Ящика здесь, даже при полной темноте, было настолько видное положение, что он сразу оказался в центре внимания. На полках, на окне, на столе и на табуретках - всюду у Ящика появились приятели.

- Вы столько изъездили! - дребезжали приятели. - Расскажите, пожалуйста, где вы побывали.

И Ящик зачитывал им все адреса, которые были написаны у него на крышках.

Постепенно беседа оживлялась, и вот уже Ящик, совершенно освоившись в новой компании, затянул свою любимую песню:

Когда я на почте служил ящикОм...

Все давно перешли на ты, и ничего особенного, конечно, в том не было, что Клещи, отведя Ящик в сторонку, спросили у него совершенно по-дружески: - Послушай, Ящик, у тебя не найдется лишнего гвоздика?

Нет, лишнего гвоздика у Ящика не было, но ведь дружба - сами понимаете.

- Сколько надо? - щедро спросил Ящик. - Сейчас вытяну.

- Не беспокойся, мы сами вытянем...

- Сами? Зачем сами? Для друзей я...

Ящик тужился, пытаясь вытащить из себя гвозди, но в конце концов Клещам все-таки пришлось вмешаться.

Когда я на почте... - пел Ящик, развалясь посреди чулана. Он потерял половину гвоздей, но еще неплохо держался. Это отметили даже Плоскогубцы.

- Ты, брат, молодец! - сказали Плоскогубцы и добавили как бы между прочим: - Сообрази-ка для нас пару гвоздиков?

Еще бы! Чтобы молодец - да не сообразил! Ящик сделал широкий жест, и Плоскогубцы вытащили из него последние гвозди.

- Ай да Ящик! Ну и друг! - восхищались чуланные приятели. И вдруг спохватились: - Собственно, почему Ящик? Никакого Ящика здесь нет.

Да, Ящика больше не было. На полу лежали куски фанеры.

- Здорово он нас провел! - сказали Клещи. - Выдавал себя за Ящик, а мы и уши развесили...

- И помните? - съязвили Плоскогубцы. - "Когда я на почте служил ящиком!.." Ручаемся, что это служил не он, да и не на почте, да и не ящиком, да и вообще нет такой песни.

Последние слова Плоскогубцев прозвучали особенно убедительно.

- Нет такой песни! - подхватили обитатели чулана. - Нет такой песни и никогда не было!

МЕМУАРЫ

Жили на письменном столе два приятеля-карандаша - Тупой и Острый.

Острый Карандаш трудился с утра до вечера: его и строгали, и ломали, и в работе не щадили. А к Тупому Карандашу и вовсе не притрагивались: раз попробовали его вовлечь, да сердце у него оказалось твердое. А от твердого сердца ни в каком деле толку не жди.

Смотрит Тупой Карандаш, как его товарищ трудится, и говорит:

- И чего ты маешься? Разве тебе больше всех надо?

- Да нет, совсем не больше, - отвечает Острый Карандаш. - Просто самому интересно.

- Интересно-то интересно, да здоровье дороже, - урезонивает его Тупой Карандаш. - Ты погляди, на кого ты похож: от тебя почти ничего не осталось.

- Не беда! - весело отвечает его товарищ. - Меня еще не на одну тетрадь хватит!

Но проходит время, и от Острого Карандаша действительно ничего не остается. Его заменяют другие острые карандаши, и они с большой любовью отзываются о своем предшественнике.

- Я его лично знал! - гордо заявляет Тупой Карандаш. - Это был мой лучший друг, можете мне поверить!

- Вы с ним дружили? - удивляются острые карандаши. - Может быть, вы напишете мемуары?

И Тупой Карандаш пишет мемуары.

Конечно, пишет он их не сам - для этого он слишком тупой. Острые карандаши задают ему наводящие вопросы и записывают события с его слов, Это очень трудно: Тупой Карандаш многое забыл, многое перепутал, а многого просто передать не умеет. Приходится острым карандашам самим разбираться - подправлять, добавлять, переиначивать.

Тупой Карандаш пишет мемуары...

ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ

Для Календаря наступила осень...

Вообще-то осень у него - всю жизнь, потому что круглый год с него опадают листки, но когда листков остается так мало, как сейчас, то это уже настоящая осень.

Календарь шлепал по лужам, глядя в них - много ли на небе туч. У него уже не хватало сил поднять голову.

Вот тут-то ему и повстречалась теплая компания.

Тридцать Первое Ноября, Восьмой День Недели и Двадцать Пятый Час Суток сидели вне времени и пространства и говорили об осенних делах.

- Эге, папаша, неважно ты выглядишь! - крикнули они Календарю. - Смотри, доконает тебя эта осень.

- Доконает, - вздохнул Календарь.

- Да ты присаживайся, чего стоишь?

- Надо идти, - сказал Календарь, - нет времени.

- Это у тебя-то нет времени? - рассмеялся Восьмой День Недели. - А что же нам тогда говорить? На нашу долю и вообще времени не досталось.

- Да, - проворчал Двадцать Пятый Час, - ночей не спишь, все стараешься попасть в ногу с временем - никак не удается. Дождешься двадцати четырех часов, только попробуешь приткнуться - глядь - уже час ночи.

- Или первое декабря, - вставило Тридцать Первое Ноября. - Сразу после тридцатого.

- А я уж как извелся с этими воскресеньями и понедельниками! Так держатся друг за дружку, как будто их кто-то связал. - Восьмой День Недели с укором посмотрел на Календарь. - А все ты, папаша, виноват. Нет у тебя порядка.

- Как это нет порядка? - обиделся Календарь. - Я за порядком сам слежу, у меня каждый день на учете.

- А толку-то от этих дней! - воскликнуло Тридцать Первое Ноября. - Каждый из них отбирает у тебя день жизни.

- Отбирает, это правда...

- Слышь, папаша, ты бы плюнул на них, а? Взял бы лучше нас - мы бы у тебя ни минутки не тронули.

- Вас? - с сомнением посмотрел на них Календарь.

- Ну конечно, нас! - сказал Восьмой День Недели. - У нас бы время никуда не двигалось, на месте стояло. Ни четвергов, ни пятниц, ни суббот - живи, ни о чем не думай.

- И все время ночь, - подхватил Двадцать Пятый Час. - Спи себе, знай, похрапывай!

- Это бы ничего, - улыбнулся Календарь. - И все листки целы?

- Все до одного! Если время стоит - куда им деваться?

Календарь сел, аккуратно подобрав листки.

- Я бы тогда в библиотеку поступил, - мечтательно произнес он. - Там с книгами хорошо обращаются. Взял, почитал, на место поставил... Вот жизнь!

- Выдана книга тридцать первого ноября...

- В восьмой день недели...

- В двадцать пять ноль-ноль...

- Вернуть книгу тридцать первого ноября...

- В восьмой день недели...

- В двадцать пять ноль-ноль...

- Постойте, постойте, - забеспокоился Календарь. - Это как же? Одну книгу читать целый год?

- А что - разве много? Если время стоит - чего там его экономить?

Это сказало Тридцать Первое Ноября. А Восьмой День Недели добавил:

- Да и читать-то никто не будет. Время стоит - значит, все стоит, разве не понимаешь?

- Все стоит? И жизнь, и все остальное?

- Стоит, папаша, стоит! И тебе - прямая дорога на пенсию. Наработал свое, довольно!

- А как же библиотека?

- На кой она тебе? Плюнь, не думай!

Календарь встал, расправил свои листки.

- Ну, вот что, нечего мне тут с вами время терять. Поговорили и хватит!

- А осень, папаша? Она же не пощадит! - напомнил Двадцать Пятый Час.

- Ну и ладно!

- Ох, смотри, доведут тебя твои дни!

- Вы мои дни не судите, - рассердился Календарь. - Не вам их судить! Они у меня все при деле. А вы что? Так, в стороне? Значит, вы вроде и не существуете.

Календарь оторвал от себя листок.

- Вот, потерял с вами целый день. Возьмите себе - на память о потерянном времени.

И он зашагал по лужам. Но теперь уже в них не глядел. Календарь смотрел высоко и далеко - туда, где кончается его жизнь и начинается жизнь других календарей, которые сейчас выходят из печати.

ХУДОЖНИК

Жил на свете Художник.

Однажды, еще в детстве, он нарисовал портрет старика. Старика этого он выдумал, но на портрете старик получился совсем как живой. Маленький Художник никак не мог расстаться со своей работой: он все что-то добавлял, подмалевывал и так увлекся, что старику это надоело. Он сошел с портрета и сердито сказал:

- Довольно! Ты меня совсем замучаешь!

Маленький Художник растерялся: ему не приходилось прежде иметь дело со стариками, которые сходят со своих портретов.

- Кто вы такой? - спросил он. - Может быть, колдун?

- Нет, не то!

- Фокусник?

- Не то!

- Ага, теперь я понимаю, - догадался мальчик. - Вас, вероятно, зовут Нето. Только я, признаться, никогда не слыхал такого имени.

- На этот раз ты угадал, - сказал старик. - Меня действительно так зовут. И знаешь почему? Все, кто имеет со мной дело, считают, что я - это совсем не то, что им нужно.

- А какие у вас дела? - спросил мальчик.

- Ну, - важно ответил старик, - работы у меня достаточно. Все лучшее, что создано на земле человеком, - создано при моем участии. Когда-нибудь ты это поймешь.

И старик удалился на свой холст.

Маленький Художник теперь уже не осмеливался прикасаться к нему. Он спрятал портрет старика и вскоре о нем забыл.

Шли годы. Маленький Художник вырос и стал настоящим Художником. Его искусство признали и полюбили, его картины украшали залы лучших картинных галерей. Многие завидовали Художнику - его славе, его успеху, считали Художника счастливым человеком.

А на самом деле это было не так.

Художник был недоволен своими картинами. Они доставляли ему радость лишь тогда, когда он над ними работал. А кончалась работа - и возникали сомнения. Каждая новая картина казалась ему неудачей.

Однажды, вернувшись домой с очередной выставки своих картин, он долго не мог уснуть. Он перебирал в уме картины, и ему было досадно за людей, которые ими восхищались.

- Не то, все не то! - воскликнул Художник.

И вдруг перед ним появился старик. Это был тот старик, которого Художник нарисовал в детстве.

- Здравствуй, - сказал старик, - ты меня, кажется, звал?

- Кто вы такой? - удивился Художник.

- Ты, видно, меня не узнал, - огорчился старик. - Вспомни портрет, который ты когда-то нарисовал.

- Не говорите мне о моих работах, - попросил Художник - Ничего у меня с ними не получается, сколько ни бьюсь. И почему только всем нравятся мои картины?

- Как это всем? - возразил старик. - Мне, например, не особенно нравятся.

- Вам не нравятся мои картины?

- А что ж тут такого? Ведь тебе они тоже не нравятся.

Очень расстроил Художника этот разговор. Правда, он и раньше критически относился к своим работам, но его утешало то, что он в этих суждениях одинок и, может быть, ошибается.

Никогда еще Художник не работал так напряженно. Новые картины принесли ему еще большую славу и окончательно развеяли все сомнения.

"Если бы старик увидел эти картины, - думал он, - они бы, наверно, ему понравились".

Но старик больше не появлялся.

Прошло еще много лет.

И вот однажды Художник, уже больной и старый, роясь в своих архивах, нашел портрет старика.

"Что это за рисунок? - подумал он. - Я его совсем не помню".

- Ты меня опять не узнал, - сказал старик, сходя со своего портрета. - Я все ждал, что ты меня позовешь, но ты так и не позвал. Ты, видно, вполне доволен своей работой и поэтому забыл про старика Нето, который один может помочь создать что-нибудь путное. Вот перед тобой твои картины - посмотри на них моими глазами.

И вдруг все картины словно преобразились. Художник смотрел на них и не верил, что это им он посвятил всю свою жизнь.

- Что это! - крикнул он. - Разве это мои картины? Нет, это не то! Не то. Не то, не то, не то!

- Ты зовешь меня, - грустно сказал старик. - Но теперь уже поздно. К сожалению, поздно.

РАССКАЗ О ЛЕСОРУБЕ, КОТОРОМУ ДО ВСЕГО БЫЛО ДЕЛО

В старину в одном городе люди потеряли улыбку...

Уверяю вас, что это очень страшно, гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд.

Никто не знал, откуда взялась эта загадочная болезнь, и местные светила науки изо дня в день изучали причины ее возникновения.

- Очевидно, это что-то желудочное, - говорил доктор Касторка.

- Нет. Нет, нет... Скорее это явление простудного характера, - возражал ему доктор Стрептоцид.

- Чепуха! - категорически заявлял профессор Пенициллин. (Злые языки утверждали, что именно это магическое слово принесло ему профессорство.)

Между тем болезнь с каждым днем принимала все более угрожающий характер. Люди забыли о весне, о солнце, о друзьях, и на улицах вместо приветливых и дружелюбных слов только и слышалось:

- Не твое дело! Не суй свой нос! Иди своей дорогой!

И как раз в это трудное время с гор спустился молодой Лесоруб. Подходя к городу, он увидел человека, который барахтался в реке, силясь выбраться на берег.

- Тонешь? - спросил Лесоруб, собираясь броситься на помощь.

- Не твое дело, - мрачно ответил утопающий и ушел под воду.

Лесоруб больше не стал тратить время на разговоры, а бросился в реку и вытащил человека на берег.

- Ты что же это сопротивляешься, когда тебя спасать хотят? Смотри, чудак, так и утонуть недолго.

- Да кто ж тебя знал, что ты всерьез спасать надумал? У нас это не принято.

Пожал плечами Лесоруб и отправился в город.

На одной из улиц дорогу ему преградила огромная толпа народа. В центре толпы маленький старичок трудился над опрокинутой телегой и никак не мог поставить ее на колеса.

- Давай-ка, дед, вместе! - сказал Лесоруб. - Одному-то тебе не под силу.

- Не твое дело, - буркнул старик, не поднимая головы.

- Ишь ты, гордый какой, - засмеялся Лесоруб. - У меня-то сил побольше твоего. А вдвоем не справимся - люди подсобят: вон их сколько собралось тебе на подмогу.

При этих словах толпа начала расходиться. Задним уйти было легко, а передним - труднее, и они волей-неволей взялись помогать старику.

Вскоре в городе только и разговоров было что о молодом Лесорубе. Говорили, что он во все вмешивается, о каждом хлопочет, что ему до всего дело. Сначала к этому отнеслись с улыбкой (это была первая улыбка, появившаяся в городе за время эпидемии), а потом многие захотели составить Лесорубу компанию, потому что он был веселый парень и делал интересное дело.

Однажды утром профессор Пенициллин выглянул в окно, и слово "чепуха" застряло у него в горле: на улице он увидел сотни улыбающихся лиц. Однако борьба с эпидемией была в плане работы больницы на весь следующий год, поэтому профессор решил закрыть глаза на факты. Он уже открыл рот, чтобы сказать: "Не мое дело", но его перебил Лесоруб, который как раз в это время входил в Зал заседаний:

- Пожалуйста, профессор, не произносите этой фразы: ведь она и есть причина заболевания, которую вы так долго искали.

Так кончилась эпидемия.

Лишь только у жителей города исчезла из употребления фраза "Не твое дело", к ним тотчас вернулась улыбка, они стали веселыми и счастливыми.

А Лесоруб ушел в горы - у него там было много работы.

ЧУДЕСНЫЙ КАМЕНЬ

Маленький жучок Солдатик возвращался на родину.

Служба его кончилась, и теперь он спешил домой, к своей Солдатке. Это очень веселое дело - возвращаться домой, поэтому настроение у Солдатика было великолепное. Он шел строевым шагом, которому его обучили во время службы, и сам себе командовал:

- Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Левой передней, правой передней! Левой задней, правой задней! Левой средней!.. - словом, ни одна нога не была забыта.

Красная спинка с черными пятнышками то пропадала в высокой траве, то снова появлялась на дороге. Она привыкла и к знойным лучам, и к холодным дождям, она очень много испытала, очень много вынесла, эта натруженная солдатская спинка.

- Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

Следуя таким бодрым шагом, Солдатик прошел к вечеру около семидесяти метров и стал устраиваться на ночлег. Солдатская служба научила его спать в любых условиях, поэтому он расположился прямо на земле, подложив себе под голову камень, и сразу уснул.

И приснилось Солдатику, что он дома, со своей Солдаткой. Сидят они у порога, смотрят на звезды и мирно беседуют. Солдатик рассказывает о своих ратных делах, о премудростях воинской службы, а Солдатка почтительно поддакивает да удивляется. Все-то ей в диковинку, все в новость.

Потом они вместе бродят по полям, отдыхают под стволами пшеничных колосьев, и Солдатка рассказывает, как она ждала Солдатика, как без него тосковала.

Проснулся Солдатик и еще пуще домой заторопился. Но, отойдя несколько шагов, вернулся назад и взял камень, который ночью клал себе под голову. На вид это был обыкновенный серый камень, но Солдатик сразу понял, что он вовсе не так прост, как кажется на первый взгляд.

"Не на каждом камне такой сон приснится, - подумал Солдатик. - Видать, это - счастливый камень. Отнесу-ка я его домой, своей Солдатке в подарок".

И - опять зашагал по дороге.

Много дней шел Солдатик, пока добрался до своего дома.

Стал на пороге, крикнул:

- Эй, хозяйка, принимай гостя!

Подождал - никакого ответа.

- Ты что - спишь?! - крикнул снова.

Никто не отзывается.

Стали собираться соседи. Здоровались, поздравляли с благополучным возвращением и - почему-то прятали глаза.

Заметил это Солдатик, забеспокоился.

- Где моя Солдатка? Уж не случилось ли с ней чего?

Молчат соседи. Только жук Дровосек, старый друг Солдатика, сказал:

- Брось, солдат! Нечего тебе по ней печалиться.

- Да что ты говоришь! Спятил, что ли?

- Она здесь больше не живет, - сказал Дровосек, пропустив Солдатику грубое слово. - В зерновой амбар перебралась.

- В какой амбар?

- В зерновой. Ее Долгоносик, тамошний завхоз, взял к себе на содержание.

Постоял Солдатик, подумал.

- Долгоносик, говоришь? Ну что ж! Я и Долгоносика не испугаюсь. Мне наплевать, что он завхоз.

Пришел Солдатик в амбар.

- Здравствуй, жена. Вот я и вернулся. Собирайся - домой пойдем.

- Никуда я не пойду, - отвечает Солдатка. - Мало, что ли, я с тобой горя хлебнула?

Убеждал ее Солдатик, убеждал - ничего не получается.

- Ты вот к жене пришел после долгой разлуки, - говорит Солдатка. - А что ты принес? Принес хоть какой-нибудь подарок?

- Принес! - обрадовался Солдатик и протянул ей свой камень.

- Ха-ха-ха! - рассмеялся Долгоносик. - Вот это подарок!

- Ты чего смеешься? - рассердился Солдатик. - Как ты можешь смеяться, если ты ничего не понимаешь?

- А тут и понимать нечего! Таких камней у нас во дворе сколько хочешь валяется!

Видит Солдатик, что Долгоносик и вправду ничего не понимает.

- Глупый ты. Долгоносик, разве это _такие_ камни? Это камни _похожие_, но не такие. И какой ты завхоз, если в простых вещах разобраться не можешь?

Эти слова задели Долгоносика.

- Ты мою должность не обижай, - сказал он. - Должность у меня трудная и неблагодарная. Работаешь с утра до вечера, спины не разгибаешь, и никто даже спасибо не скажет.

Неловко стало Солдатику, что он о Долгоносике плохо подумал.

- Извини, - говорит, - як тебе ничего не имею. Ты, вижу, справедливый Долгоносик, и должность у тебя справедливая. Только мне за Солдатку обидно: как ни скажи, жена все-таки, тосковал я по ней, надеялся...

- Никакая я тебе не жена, - говорит Солдатка. - Ищи себе другую и таскай ей камни хоть со всего света.

Понял Солдатик, что толку от этого разговора не будет.

- Ну, коли так - оставайся, неволить не стану.

Взвалил на плечи свой камень и - пошел.

На опушке леса остановился, в последний раз посмотрел на свой дом и побрел прочь - куда глаза глядят. Больше не командовал себе: "Левой передней! Правой передней!" - и камень, который он нес, показался ему гораздо тяжелее.

К вечеру подошел к ручью.

Напился, отдохнул, а утром стал думать, как бы на другую сторону перебраться. Смотрит - невдалеке листок на воде качается, а на нем - Комар, видать, перевозчик. Окликнул его Солдатик:

- Перебрось меня, друг, на ту сторону!

- Давай садись!

Но только Солдатик стал забираться на листок Комар закричал:

- Погоди, погоди! Ты куда - с камнем? Хочешь плот потопить?

- Это не простой камень, - объясняет Солдатик. - Это камень особенный.

- Вижу я, какой он особенный, - говорит Комар. - Обыкновенный камень.

- А может, ты сначала камень перевезешь, а потом меня? Так плоту легче будет, - предлагает Солдатик.

- Ты что - меня за дурака считаешь? Чтобы я камни возил, каких и на той стороне сколько хочешь валяется?

- Таких там нет, - говорит Солдатик. - Там совсем другие камни.

- Вот что, служивый! - разозлился Комар. - Хочешь ехать - садись, а нет - отчаливай. У меня и без тебя работы хватает.

- Ну, тогда прощай, - сказал Солдатик. - Я пойду погляжу, - может, как иначе переберусь на ту сторону.

Ходил, ходил, нашел самое узкое место. Попробовал - глубоко. Что делать?

И вдруг, пока он примерялся да раздумывал, выскользнул у него камень и упал как раз на середину ручья.

Стал его Солдатик вытаскивать Взобрался на камень, смотрит - а с него до другого берега рукой подать. Перебрался через ручей и думает: "Вот так камень! Без него бы мне никак не переправиться!"

Вытащил камень из воды, взвалил на плечи и дальше пошел.

И даже как будто веселей ему стало. Идет, бубнит себе под нос какую-то солдатскую песенку и вдруг слышит:

- Здравствуйте, извините, пожалуйста, что нарушаю течение ваших мыслей...

Оглянулся Солдатик - никого не видно.

А голос продолжает:

- Осмелюсь спросить, как далеко вы направляетесь с такой тяжкой ношей?

Еще раз осмотрелся Солдатик и только тогда увидел маленького беленького червячка, который сидел под кустом и копался в каком-то клочке бумаги.

- Кто вы такой? - спросил Солдатик.

- О, простите, что не представился! - поспешно заизвинялся червячок. - Я - Книжный Червь. Работаю в городе, в публичной библиотеке, а здесь гощу у родственников.

- Понятно, - сказал Солдатик и хотел двинуться дальше, но Книжный Червь его остановил:

- Извините, пожалуйста. Очевидно, по рассеянности вы забыли ответить на мой вопрос. Я позволил себе поинтересоваться, куда вы направляетесь с этой нелегкой ношей.

- Как вам сказать... - замялся Солдатик. - Я и сам не знаю, куда иду...

- Ах, вы, путешествуете! - подхватил Книжный Червь. - Ну что ж! Это весьма интересно. Необходимый отдых душе и телу, познание жизни во всех ее проявлениях... А что это вы несете с собой, разрешите полюбопытствовать?

- Это камень...

- Драгоценный камень? - оживился Червь. - Какой же, позвольте узнать?
Изумруд, опал, сапфир или, может быть, аметист? Или...

- Да нет, это вовсе не драгоценный камень, - перебил Червя Солдатик. - Но для меня он дороже самого драгоценного. Понимаете - как бы вам это объяснить? Словом, это - счастливый камень.

- Простите, пожалуйста, - сказал Книжный Червь, - дайте мне на минутку сосредоточиться.

Он задумался и долго сидел неподвижно. Солдатик терпеливо ждал. Наконец, когда он уже собрался было уходить. Книжный Червь вышел из задумчивости.

- Простите, - сказал он. - Значит ли это, что ваш камень имеет какое-то отношение к счастью?

- Конечно, имеет. Я же вам сказал, что это счастливый камень.

- Вы мне позволите еще на минутку сосредоточиться? - попросил Червь.

Солдатику неудобно было отказывать.

- Валяйте, - разрешил он. - Только не долго.

Червь опять ушел в себя. Он что-то вспоминал, повторяя в раздумье: "Счастье... Счастье... Счастье..."

- Вы знаете, - сказал он через полчаса, - мне кое-что приходилось читать по этому вопросу. Счастье - это высшее удовлетворение, полное довольство.

- Тоже сказали! - возмутился Солдатик. - Полное довольство! Хуже этого ничего не придумаешь!

- Но ведь не я выдумал это определение. - несколько раздраженно, но не выходя из приличных рамок, заметил Червь. - Я вообще никогда ничего не выдумываю. Это определение я вычитал в словаре - очень солидном, авторитетном издании. А как вы сами понимаете счастье?

- Счастье, - сказал Солдатик, - это когда веришь в то, чего не имеешь, но очень хочешь иметь. Веришь и добиваешься.

- Я не стану с вами спорить, - снисходительно заметил Книжный Червь. -
У вас, очевидно, просто нет достаточной подготовки в данном вопросе. Но объясните мне - почему вы называете этот камень счастливым?

- Это мой единственный друг, - сказал Солдатик. - Он не раз меня выручал. Когда бывает трудно, он помогает мне верить в лучшее. Стоит положить его под голову, и приснятся такие сны...

- Ну, я вижу, происхождение снов и сновидений вам также мало знакомо. Желаю вам восполнить этот пробел. Если вы заглянете ко мне в библиотеку...

Но Солдатик больше его не слушал. Книжный Червь, видно, и понятия не имел, что такое мечта, которая даже камни наделяет волшебной силой, мечта, без которой немыслимо никакое счастье.

И Солдатик отправился дальше, оставив Книжного Червя гостить у родственников и сосредоточиваться сколько ему заблагорассудится.

Долго странствовал Солдатик. Всюду смеялись над ним и над его камнем, никто не хотел их приютить, и Солдатику приходилось ночевать под открытым небом. Его измучили дожди и ветры, он заболел гриппом, но зато...

Зато какие сны снились ему по ночам! Такие сны ни на каком другом камне, конечно, не приснятся!

Однажды, уже совсем больным, подошел Солдатик к домику Цикады. Он больше не решался проситься на ночлег, а устроился неподалеку, чтоб переночевать хоть вблизи жилья, если внутрь не пускают.

Оставил Солдатик свой камень и пошел пособирать чего-нибудь на ужин. Вернулся, смотрит - Цикада возле его камня стоит, разглядывает.
Поздоровался Солдатик, а Цикада спрашивает:

- Это ваш камень?

Подумал Солдатик, что сейчас его опять гнать будут.

- Вы не беспокойтесь, - говорит. - Я только немного передохну и дальше пойду. Я вам здесь не помешаю.

- Какой чудесный камень! - продолжает Цикада, не слушая его. - Это, должно быть, счастливый камень. И какие сны приснятся, если его положить под голову...

- Ладно, не смейтесь, - прервал ее Солдатик. - Я могу и сейчас уйти. До свиданья, всего хорошего.

- Постойте, не уходите, - мягко сказала Цикада. - Я ведь не смеюсь. Я действительно никогда в жизни не видела такого камня.

- Не видели? - Солдатик так обрадовался, что больше ничего не смог сказать.

- Что же мы здесь стоим? - спохватилась Цикада. - Пойдемте в дом. И камень берите - как бы его не утащили ночью.

Допоздна просидели они в этот вечер. Оказалось, что им многое нужно было друг другу сказать. А когда ложились спать. Солдатик уступил Цикаде свой камень: пусть, мол, и ей приснится хороший сон.

Чуть свет Солдатик заторопился в дорогу.

- Останьтесь, - просила Цикада. - Места хватит, да и лучше как-то вдвоем...

- Прощайте, - сказал Солдатик, - спасибо за доброту. А на память обо мне оставьте себе этот камень...

- Нет, что вы, что вы! - запротестовала Цикада. - Такого подарка я не могу принять!

- Ничего, возьмите его, - успокоил ее Солдатик. - Я себе другой камень найду. На свете много счастливых камней, стоит только поискать хорошенько.

И пошел он дальше бодрым солдатским шагом, командуя сам себе:

- Левой передней! Правой передней! Левой средней!.. Правой задней!.. Раз, два, три, четыре, пять, шесть!

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА

Жил-был добрый волшебник. Он мог превращать песок в сахар, а простую воду в молоко, но он ничего этого не делал, так как был убежден, что чудес на земле не бывает.

Пошел он однажды на край света. Пришел, свесил ноги через край и сидит, смотрит вниз - на звезды и луну, на разные планеты.

Вдруг добрый волшебник почувствовал, что рядом с ним кто-то стоит. Он скосил глаза и увидел петуха, который пристроился на самом краю и преспокойно клевал звезды.

- Что ты делаешь! - забеспокоился добрый волшебник. - Ведь так мы останемся без звезд.

Петух перестал клевать.

- И правда, - сказал он, - мне это как-то не пришло в голову. Но согласитесь - здесь же больше нечего клевать.

- А зачем ты забрел на край света? - спросил добрый волшебник.

- У меня просто не было другого выхода, - сказал Петух. - Так сложилась жизнь - ничего не поделаешь.

Доброму волшебнику захотелось узнать, как складывается жизнь у петухов, и петух охотно ему рассказал.

Оказывается, он вовсе не был петухом. Он был таким же человеком, как добрый волшебник, только помоложе. Петух даже уверял, что у него была жена, очень красивая женщина, которую он любил больше всего на свете. Он так любил свою жену, что друзья стали над ним посмеиваться.

- И вот один из них, - сказал Петух, - колдун по образованию, превратил меня в петуха... И теперь мне нравятся все курицы... - Петух опустил глаза. - Вот поэтому я сбежал на край света.

- Если бы меня кто-нибудь расколдовал, - закончил Петух. - Я мог бы вернуться к своей жене и опять жить по-человечески...

- Да, если бы, - вздохнул волшебник. - Но чудес не бывает.

Так они сидели на самом краю света и говорили о жизни. Потом волшебник спохватился:

- Однако, что же мы здесь сидим? Надо идти устроиться где-нибудь на ночь.

Они шли по краю света, как по берегу большой реки. То и дело Петух окликал волшебника:

- Посмотрите, какая хорошенькая курочка! - и тут же начинал себя ругать: - Ах, какой я все-таки... Бессовестный, непутевый...

Поздно вечером набрели на берлогу медведя.

- Заходите, - пригласил Медведь, - хотя угощать у меня особенно нечем.
На краю света с продуктами - сами понимаете...

- А как ты попал на край света? - спросил добрый волшебник.

- Можно и рассказать, - сказал Медведь, усаживая гостей. - Это целая история.

- Дело в том, что я не медведь, а петух, - сказал Медведь. - Я пел и зарабатывал довольно неплохо. Было у меня вволю и пшеницы, и овса, и кукурузы... Это так чудесно - быть петухом, - вздохнул Медведь и посмотрел на Петуха, ища сочувствия. - Если бы не мед, я бы и сейчас жил, горя не знаючи...

- Какой мед? - спросил волшебник. - Ты же говорил о зерне.

- Да, зерна у меня хватало. Но мне захотелось меда. Я много слышал о нем, и, понимаете... мы же никогда не довольны тем, что имеем... И вот однажды, когда стемнело, я забрался на пасеку...

Медведь замолчал. Ему было совестно рассказывать о том, что произошло дальше. Но раз уж начал - надо досказать.

- Осторожно, чтобы не разбудить пчел, я залез в улей и стал пробовать мед. Он оказался совсем не вкусным, но я столько о нем наслышался, что уже не мог остановиться. Я уплетал мед за обе щеки и уже подумывал, как бы утащить с собой улей, но вдруг почувствовал, что со мной что-то происходит.

Медведь отвернулся и стал сморкаться в тряпочку.

- Можете себе представить, - продолжал он. - Перья и крылья мои куда-то исчезли, а вместо них появилась шерсть и вот эти лапы. И самое главное – я потерял голос. Вот послушайте.

Медведь заревел так, что все вокруг содрогнулось.

- Нет, ничего, голос как будто есть, - робко заметил волшебник, но
Медведь только лапой махнул:

- Э, разве это голос! Вот прежде было...

Медведь попробовал показать, что у него было прежде, но опять заревел и смутился:

- Нет, не получается. Эх, если б мне опять петухом стать!

- Ничего не поделаешь, - вздохнул добрый волшебник. - Чудес не бывает.

- Привет честной компании, - послышалось сверху, и в берлогу заглянул человек.

- Ты кто? - покосился на него Медведь. - Часом, не охотник?

- Да нет, какой из меня охотник, - сказал Человек. - Я и не человек вовсе. Медведем родился, медведем и состарился. Да вот на старости лет захотелось стать человеком. Человеку, думал, легче, человеку и пенсию дают. Только вижу теперь - ох, нелегкое это дело быть человеком! Вот и хожу, ищу - кто бы меня опять в медведя переколдовал.

Волшебник покачал головой:

- Чудес не бывает...

Сидят они в медвежьей берлоге, а настроение у всех - ой, не веселое!

- Эх, кабы мне быть человеком! - сокрушается Петух.

- Кабы мне быть петухом! - вторит ему Медведь.

- Кабы мне быть медведем! - вздыхает Человек.

Надоело это все доброму волшебнику, не выдержал он и крикнул:

- А, да будьте вы все кем кто хочет!

И тотчас же стали все, кем кто хотел, потому что пожелал, этого не кто-нибудь, а волшебник. Петух стал человеком. Медведь - петухом. Человек - медведем.

Посмотрел волшебник - сидят в берлоге петух, медведь и человек - и вздохнул:

- Я же говорил, что чудес не бывает!

Но компания и та, и словно уже не та. Ободрились все, повеселели. Петух песни поет. Медведь лапу сосет, другой лапой закусывает.

А человек - просто так сидит, улыбается.

"Что с ними произошло? - удивляется волшебник. - Неужто и вправду случилось чудо?"

Но недолго ему пришлось так раздумывать. Вот уже и петух перестал петь, и медведь оставил свою лапу, и человек улыбаться перестал.

- Эх, - вздохнул петух, - благое дело быть медведем. Залезть в берлогу, лапу сосать...

- Нет, - возразил ему медведь, - человеком все-таки, лучше...

А человек ничего не сказал. Он посмотрел на петуха и задумался.

"А мне уж казалось, чудо произошло, - подумал волшебник, глядя на эту компанию. - Нет, что там ни говори, а чудес на земле не бывает!"

НАШ СПУТНИК

- Бип... бип... бип...

В мире произошло нечто необычное: Земля, миллионы лет остававшаяся бездетной, обзавелась маленьким сынишкой. Он был совсем крохотный, но его уже называли, как взрослого: "Спутник Земли".

Люди радовались и гордились: это они подарили Земле спутника. Не будь их, людей, неизвестно, сколько бы еще продолжалась ее скучная, одинокая жизнь.

А теперь:

- Бип... бип... бип...

Земле сразу стало веселее.

...Спутник летал над Землей, и люди самых разных континентов впервые почувствовали себя земляками. Перед ними раскрылись более широкие горизонты, и теперь, в масштабах вселенной, их Земля показалась им особенно родной и особенно заслуживающей счастья.

И только в старом чулане, в котором доживали свой век старые, никому не нужные вещи, весть о маленьком Спутнике была воспринята иначе.

Патефонная Игла, принесшая эту весть в чулан, из-за своей тупости не могла, конечно, правильно разобраться в событиях.

- Вы подумайте, - жаловалась она, - люди совсем с ума посходили! Я им играла такое чудесное танго, - и вдруг... вбегает мужчина и кричит: "Тихо!
Выключите радиолу! Слушайте!" Меня, понятно, снимают с пластинки, и из соседней комнаты раздаются звуки: "Бип... бип... бип..." Больше ничего. Только "Бип... бип... бип..." И что вы думаете? Люди слушают это, как самую лучшую музыку. А потом начинают говорить о каком-то Спутнике.

И Патефонная Игла рассказала своим новым друзьям все, что ей удалось узнать о маленьком Спутнике Земли.

- Я не понимаю людей, - заметила Большая Стрелка Ходиков. - Вы говорите, этот Спутник делает полный оборот за час тридцать пять минут? Я в свое время делала полный оборот за час, даже меньше, и никто этому особенно не радовался.

Стрелка была права: она делала полный оборот за сорок пять минут - и даже слова доброго не услышала.

- А размеры! - проскрипел старый Топчан. - Каких-то полметра в диаметре! Я, при моем росте, лежу здесь, а он... Нет, определенно у него где-то рука!

- Вам что - тоже хочется летать? - вмешался в разговор рваный Футбольный Мяч. - Уверяю вас, в этом нет ничего особенного. Поверьте мне, я-то уж достаточно налетался в своей жизни.

- Вы летали? - заинтересовалась Лохань. - Расскажите, ах, это так интересно! И Мяч рассказал:

- Да, в молодости я летал - э, куда там вашему Спутнику...

Пока рваный Футбольный Мяч вспоминал молодость, маленький Спутник продолжал свой путь. Он уверенно рассекал пространство, весело, молодо
выкрикивал:

- Бип... бип... бип...

Он летел над городами и селами, над океанами и морями, а с далекой родной Земли за ним следили добрые взгляды, и голоса друзей заглушали шепотки, ползущие из старых чуланов.

Фантастика-буфф

1. БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!

Внимание полицейского инспектора Хоста уже давно выбросило белый флаг и бредет под конвоем слов, монотонных, невыразительных, похожих друг на друга:

- Он исчез неделю назад... Сначала, я не придавала значения... То есть, вы меня понимаете... не может жена не придавать значения, когда муж не ночует дома...

Не умеют пострадавшие ярко страдать, не умеют рассказать о происшествии так, чтобы дух захватило. Да и сами происшествия, откровенно говоря... Кого они могут взволновать? Только не инспектора. А ведь есть же происшествия, есть преступления... Вот, например, хоть это. Ограблен универсальный магазин. Но не примитивно, со взломом и отключением сигнализации. Преступник, инопланетянин, а точнее, плутонянин, прилетевший на Землю с планеты Плутон, взял кассу, приняв образ кассира. Он провел операцию спокойно, без шума, но, по неопытности, не оставил следов. Поэтому подозрение, естественно, пало на кассира. Увидев, что он обнаружен, преступник поспешно покинул образ кассира и принял образ заведующего секцией "Мужские костюмы". Там его тоже засекли, и он перебазировался в секцию "Чулки, носки". Когда все секции были исчерпаны, преступник принял образ директора магазина. Но полиция оцепила магазин, стянула к нему крупные силы и уже приготовилась брать универмаг штурмом... Тут-то плутонянин пошел на крайнюю меру: он отключил гравитацию, и универмаг, лишенный земного притяжения, легко поднялся в воздух. Все здание, со всеми товарами, даже теми, что в подсобке и под прилавком, взмыло в воздух, и только служащие универмага остались стоять на земле: они до того наворовались, что не могли оторваться от земли даже в условиях полной невесомости. Тут-то их всех и замели.

Так, благодаря вмешательству инопланетных сил, было раскрыто крупное преступление. Этот случай был описан в литературе.

А вот другой случай, тоже описанный в литературе. Воспользовавшись новейшими достижениями телепатии, преступник присвоил мысли, которые ему никто не передавал. Метод передачи мыслей на расстояние он использовал для хищения чужих мыслей. В результате известный профессор, автор многих замечательных открытий, вдруг перестал делать открытия и понес такую околесицу, что вся кафедра разбежалась. А молодой аспирант вдруг стал высказывать мысли, которые по плечу только крупному научному авторитету. Это-то и навело полицию на след. Краденую вещь можно скрыть, но мысли не скроешь.

Конечно, преступник получил по заслугам. Суд вынес решение: на всех работах, которые будет издавать аспирант, отныне ставить имя профессора, возвращая, таким образом, украденное его владельцу. Правда, злые языки утверждали, что никогда у владельца не было столько украдено, сколько впоследствии было ему возвращено. Но протеста по Этому поводу от пострадавшего не поступало.

- И вот с тех пор он не ночует дома... - доносится до инспектора сквозь собственные отвлеченные мысли.

Какое дело инспектору до того, где ночует муж этой женщины? Он, инспектор, и сам почти неделю дома не ночевал: все работа, работа, срочная работа. Теперь у нас не девятнадцатый век, когда сыщики раскрывали преступления с помощью одной лишь формальной логики. Техника розыска совершенствуется, и вместе с ней совершенствуется техника преступлений, и обе эти техники намного опережают, а зачастую и вовсе вытесняют логику.

- У него и прежде бывали отлучки, но я считала это естественным. Я предпочитаю не контролировать моего мужа, чтобы не давать ему повода что-то скрывать. И он, вы знаете, ничего от меня не скрывает. Когда он приходит домой - в тех случаях, когда он приходит домой, - мы с ним все выкладываем друг другу: я ему, он мне. Мы даже ни о чем не спрашиваем, а просто начинаем рассказывать...

Инспектор слушает и скучает. Он тоскует, как тоскует преступник по оправдательному приговору, когда слушает обвинительную речь. Как тоскует моряк на суше, как тоскует карточный шулер, когда партнеры начинают раскладывать пасьянс. Муж сбежал! Никакой работы воображению...

Правда, работа воображения не всегда помогала инспектору в раскрытии преступлений. Оно обычно уносило его так далеко, что преступник оставался позади и сворачивал куда-нибудь в сторону. Но эти неудачи не расхолаживали инспектора. Он твердо верил: в наш фантастический век нужно больше полагаться на фантазию, чем на факты.

Раньше он это интуитивно чувствовал, а недавно имел случай укрепиться в этой мысли. К нему в полицию пришел человек и рассказал об ограблении века. Кого же ограбили? Оказывается, его самого. Так они устроены, эти пострадавшие: каждый считает свое происшествие происшествием века. Но молодой человек имел основание так считать, поскольку у него украли гениальное изобретение: усилитель интеллекта.

Инспектор Хост любил фантастические изобретения. Втайне он мечтал о роботе-сыщике, который находил бы преступника в течение считанных минут. Но что касается усиления интеллекта, то об этом инспектор никогда не мечтал, так как не имел к своему интеллекту никаких претензий.

Молодой человек, назвавшийся Н.Ютоном, сообщил инспектору, что у него есть и другие, неукраденные, изобретения, среди которых он назвал расширитель времени. Оказывается, Н.Ютон открыл закон взаимозависимости между временем и пространством. В бесконечно большом пространстве вечность равна мгновению, в бесконечно малом - мгновение равно вечности. Звезды живут миллиарды лет, но они живут не дольше, чем какой-нибудь мезон, жизнь которого умещается в миллионной доле секунды. И если мы сузим наше пространство до масштаба атома, то секунда для нас станет равна вечности.

- А как мы его сузим? - спросил инспектор Хост, которого это неукраденное изобретение заинтересовало больше, чем украденное, хотя это противоречило его профессиональному интересу.
- Здесь все описано, - сказал Н.Ютон и похлопал по папке, на которой было крупно выведено: "Н.Ютон. Это долгое, долгое никогда".
Посетительница все говорила. Оказывается, у исчезнувшего мужа тоже были свои фантазии. Например, он настаивал, чтобы ей снились цветные сны, вместо того, чтобы купить ей цветной телевизор.
- Муж любил вас?
- Что вы имеете в виду?
- Он был внимателен, приносил вам цветы?
- Он приносил мне свой заработок.
- И этого было достаточно?
- На первых порах не очень, по правде говоря. Но потом он стал хорошо зарабатывать, мы купили квартиру, машину... Мы были счастливы.
- Вы были счастливы? Или ваш муж тоже?
- Конечно, тоже! Мы же с ним жили вместе, значит, вместе были счастливы.
- Чем занимается ваш муж?
Миссис Фунт не может этого с точностью сказать, до кажется, его работа связана с какой-то наукой.
- Но вы говорите, что муж вам все рассказывал?
- Так не о работе же! Слава богу, у людей, которые пятнадцать лет прожили вместе, найдется о чем поговорить!
Рассуждения миссис Фунт на семейную тему были прерваны появлением новой посетительницы. Эта дама, нисколько не смутясь занятостью инспектора, решительно вошла в кабинет и представилась:
- Мисс Стерлинг.
- Присаживайтесь, - любезно пригласил ее инспектор. - А вы, - это относилось к миссис Фунт, - не уходите. Вы друг другу не помешаете.
Так инспектор разнообразит свои скучные занятия. Он любит собрать у себя побольше народу, завязать разговор, чтоб спокойно посидеть да послушать. Незнакомые люди обычно откровенны между собой, и когда они разговорятся - о, тут только послушать их полицейскому инспектору!
- Инспектор, я к вам за помощью, - озабоченно, но, впрочем, спокойно сказала новая посетительница. - У меня пропал любовник.
- Вы хотите сказать, друг? Или приятель? Или добрый знакомый?
- Никакой он не друг. И не приятель. Любовник. Или я неясно выразилась?
- Уж куда ясней, - поморщился инспектор. По роду своей службы он любил ясность, но ему не нравилось, когда ею слишком бравировали.
- У меня от полиции нет секретов. Я привыкла жить на виду у полиции.
- Значит, ваш возлюбленный вас покинул?
- Не возлюбленный. Любовник. - Пострадавшая настаивала на точности своих показаний.
- Ну, хорошо, - сдался инспектор. - И что же, он вас разлюбил?
- На этот счет я спокойна.
- Вы так хорошо его знаете?
- Я себя знаю. Меня нельзя разлюбить. Это многократно проверено.
Миссис Фунт, почувствовав неловкость, спросила, не лучше ли ей уйти, но мисс Стерлинг заверила ее, что напротив, это даже очень хорошо, что при разговоре присутствует женщина.

- Вы как женщина сможете меня понять - там, где инспектор не поймет меня как мужчина. Не обижайтесь, инспектор, но вы не поняли меня как мужчина, когда предположили, что мой любовник меня разлюбил. Он не разлюбил. Он просто куда-то испарился.

Такие случаи бывали. Не в практике инспектора, но они были описаны в литературе. Банда преступников испарила из подвалов банка весь золотой запас, а в другом месте вернула его в твердое состояние. В газообразном виде золото свободно прошло сквозь замочную скважину, и не потребовалось взламывать дверь. Еще были описаны случаи испарения валюты, ценных бумаг, но чтобы испарился живой человек - с этим инспектору не приходилось встречаться.

- А ваш... любовник... он семейный человек?

- Если бы вы, инспектор, были женщиной, я бы вам объяснила, что такое семейный человек для несемейной женщины. Несемейные мужчины тянутся к семье, а семейные - из семьи. Поэтому я могу полюбить только семейного мужчину.

- Я тоже люблю семейного мужчину, - сочла нужным вставить миссис Фунт. - Но не из чужой же семьи.

- Глядя на вас, я так и подумала, - ответила мисс Стерлинг, не скрывая подтекста.

- И вы легко находите этих... любовников? - брезгливо осведомилась миссис Фунт. - Надеюсь, не всегда с помощью полиции?

Мисс Стерлинг не приняла иронии.

- Если бы он был жив, он бы пришел ко мне, приполз на последнем дыхании. Если б перед ним встали Гималаи, тропические леса, непроходимые болота, Северный Ледовитый океан... Он бы приполз ко мне по льдам, как Фритьоф Нансен, как Амундсен.

- Вот как! Вы знаете и их?

- Я себя знаю.

2. НОВЫЕ СОБЫТИЯ В РОМАНЕ ДАНИЕЛЯ ДЕФО

Корректор Крект читал роман Дефо "Робинзон Крузо", выходящий в издательстве Рокгауза пятьдесят седьмым изданием. Он третий раз перечитывал заключительные страницы рукописи, но что-то в них его не удовлетворяло. Что бы такое могло его не удовлетворять? Запятые были на месте, слова переносились правильно, по слогам, - все соответствовало грамматическим правилам. И все же в тексте чувствовался какой-то подвох.

Корректор Крект дочитал рукопись до конца и задумался.

"Робинзон Крузо" - его любимый роман, потому что в нем почти нет трудных случаев написания. Вероятно, поэтому роман выдержал столько изданий. С ним ни в какое сравнение не шли романы Дауккенса, этого пирата стилистики, каждая фраза которого опутывала, как веревка, а каждое слово было, как нож, приставленный к горлу читателя. Не могло сравниться с романом Дефо и творение его современника и земляка, сочинившего этого дурацкого "Гулливера". Лилипуты, великаны, какие-то люди-лошади. Как будто автор специально собрал все, чего в жизни не бывает, и поместил в свой роман. А зачем читателю то, чего не бывает? Он и то, что бывает, еще как следует не узнал. Он реальной жизни не узнал, а ему забивают голову фантастикой.

В борьбе с фантастикой реальности приходится нелегко. Люди тянутся к чему-то невероятному, им нравится удивляться, а реальность уже не может их удивить. Верней, они просто не тому удивляются. Разве не достойно удивления, как простой человек, моряк из Йорка, попал на необитаемый остров, как он жил и трудился на этом острове...

Пятьдесят шесть изданий, которые вел корректор Крект, сроднили его с этим бессмертным произведением, и пятьдесят седьмое было для него, как встреча с близким, дорогим человеком. Откуда же взялось это смутное, тревожное предчувствие?

В сознании корректора Кректа внезапно замаячило слово "автобус". Как будто он только что его прочитал. Но каким образом в романе восемнадцатого века может идти речь об автобусе, появившемся двести лет спустя?

Впервые за сорок лет работы корректор Крект решил отвлечься от грамматики и посмотреть на текст другими глазами. И вот что он в нем увидел, верней, прочитал.

Когда обитаемость в прошлом необитаемого острова превысила все допустимые для обитания нормы, президент Робинзон пригласил к себе государственного советника Робинзона и сказал:

- Мы поставлены перед исторической необходимостью...

Перед исторической необходимостью бывший необитаемый остров находился с тех пор, как перестал быть необитаемым: через него проходила главная историческая магистраль, и к Истории относились, как к маршрутному автобусу: "Сегодня номер пятый идет по маршруту двенадцатого. А завтра он пойдет по маршруту седьмого". История, как старый, видавший виды автобус, давно привыкла ходить не по своему маршруту, и она звонила больше, чем двигалась, как старый, видавший виды трамвай.

- У сапожника Робинзона родился ребенок, - продолжал президент. - Это ставит нас перед исторической необходимостью. Мы не можем допускать, чтобы каждый сапожник... - "изменял маршрут нашего автобуса" - мог бы закончить он, но вместо этого сказал неопределенно: - М-да... Вы меня понимаете?

"Был один Робинзон, а стало три Робинзона, - недоумевал корректор Крект. - Интересно, они родственники или просто однофамильцы?"

Он продолжал читать. Президент Робинзон сожалел о тех временах, когда остров был необитаемым, когда на нем жил только основатель его Робинзон со своим Пятницей. Советник осторожно поправил его: "Со своей Пятницей". Аргументировал он это тем, что Пятница была женой Робинзона.

Президент Робинзон с этим не согласился. Он сказал, что мы (то есть, они с советником) должны знать, с кого мы начинались, а начинались мы с Робинзона и его друга Пятницы.

Советник Робинзон сослался на грамматика Робинзона.

"Еще один Робинзон!" - отметил корректор Крект, но не огорчился, а скорее обрадовался, в надежде, что грамматик Робинзон все поставит на свое место.

Грамматик Робинзон, по словам советника Робинзона, исследовал слово "пятница" с точки зрения грамматического рода. Президенту, однако, этот аргумент показался неубедительным, и тогда советник призвал на помощь пятого Робинзона:

- В своей теории наследственности генетик Робинзон утверждает, что для получения наследственности необходимы представители разных полов. Таким образом, если один из наших предков был мужчиной, то другому остается быть женщиной. Кто именно был мужчиной, уточняет грамматик Робинзон на основании грамматического рода. Так грамматика дополняет генетику.

- Это ужасно, - сказал президент. - Если предположить, что единственный друг Робинзона был женщиной, то какой будет пример нашему и без того растущему населению? В частности, сапожнику Робинзону?

Советник сообщил, что композитор Робинзон уже сочинил песенку о Робинзоне и Пятнице. Это сообщение настроило президента на лирический лад, и он поинтересовался, что может сказать советник о любви. Советник Робинзон смутился: в этом кабинете ему не приходилось говорить о любви разве что о любви к своему отечеству. Президент уточнил свой вопрос: за последнее время у него возникло подозрение, что именно любовь способствует превращению некогда необитаемого острова в сверхобитаемый остров. Советник недоверчиво покачал головой: какое отношение имеет любовь к росту населения?

Установить эту зависимость означало решить все проблемы. Чем больше любви, тем больше прирост населения, чем меньше любви - тем прирост населения меньше. Но в действительности было не так. Советник давно заметил, что любви на его острове не прибывало, а население все росло и росло. Задумываясь над этим обстоятельством, советник начинал подозревать, что растет оно не только от любви, но и от симпатии, антипатии и просто апатии, - от всех известных человеческих чувств был единственный ощутимый эффект: прирост населения.

Вот почему, продолжил свою мысль президент, очень важно, чтобы Пятница был мужчиной. Дружба не чревата такими последствиями, как любовь.

И дружба чревата, размышлял советник, и сотрудничество. И даже простое знакомство. Все чревато, куда ни взгляни, - все, все чревато...

- Друг мой, - спросил президент, - вы любили когда-нибудь?

Советник опять смутился. Не потому, что ему неловко было признаться в столь интимном чувстве, а потому, что весь смысл их разговора требовал от него не признаваться, отвести от себя малейшие подозрения. И советник Робинзон, приняв позу уголовника Робинзона перед следователем Робинзоном, сказал:

- Никогда. Ни разу в жизни.

- А я любил, - признался президент. - И сейчас еще люблю - правда, не так и не ту, что в молодости... И могу вам сказать, мой друг: это опасное чувство. Лет сорок назад, когда я никого не любил, я был цветущим человеком, а сейчас - посмотрите, в кого я превратился. Вы выглядите на десять лет моложе меня. - Советник был и в самом деле на десять лет моложе президента. - Одним словом, - закончил президент, - Пятница должен остаться мужчиной, даже если это противоречит законам генетики и грамматики, а также всех остальных наук.

Приняв такое решение, президент приободрился и даже стал выстукивать популярную песенку композитора Робинзона - о том, как первый человек Робинзон встретил первую женщину Пятницу... Советник, тоже знавший мелодию, подхватил ее и стал выстукивать о их первом знакомстве... И теперь уже они оба выстукивали эту песню - советник Робинзон и президент Робинзон, послушные воле композитора Робинзона.

- Генетику можно подправить. И грамматику можно подправить. Но что делать с этим?.. - президент еще раз постучал по столу. - С музыкой?

- Все уже поют, - сказал советник, подавляя в себе желание петь. Очень ему нравилась эта песня.

- Поют, - вздохнул президент. Сколько раз он сам ее пел - не на официальных приемах, конечно, а в интимной обстановке, оставаясь наедине с женой или с какой-нибудь другой женщиной. Он понимал, что есть песни лучше, содержательнее, песни, которые надо бы петь, но ему их петь не хотелось. Впрочем, разве обязательно, чтобы все песни пел президент? Сейчас уже не прежние необитаемые времена - слава богу, есть кому петь на острове!

Корректор Крект перечитывал эти "Приключения" сотни раз, но такое он вычитал здесь впервые. Между пятьдесят шестым и пятьдесят седьмым изданием в книге произошли столь значительные события, что ни правильное написание слов и предложений, ни идеальная расстановка знаков препинания уже не могли ее спасти. Это просто какая-то фантастика! - подумал он, и внимание его задержалось на слове "фантастика". То, что он прочитал, было действительно похоже на фантастику, на злополучный жанр, который издательство тщательно избегало. Он вспомнил скандальный случай с повестью "Скорость твоего света", где герой превратил себя в луч света, чтобы добраться до женщины, от которой его отделяло бесконечное космическое пространство. Автор не объясняет, каким образом герой полюбил женщину, которую даже ни разу не видел, он только описывает, как он к ней летит. Проходят миллионы лет, на планете, на которой жила эта женщина, давным-давно никого не осталось, а он все летит и летит, пронзая мертвое космическое пространство, и не гаснет, не может погаснуть, так велика сила его любви...

Издатель Рокгауз каким-то образом пропустил эту рукопись, а корректор Крект аккуратно исправил в ней ошибки, и она уже почти вышла в свет, но в последнюю минуту на нее наткнулась жена издателя и затосковала по этой сверхсветовой любви. Видимо, она сказала мужу об этом луче света и, может быть, поставила его в пример, потому что издатель Рокгауз прибежал в типографию вне себя и вырвал эту рукопись из рук линотиписта. И тогда же он заявил, что не позволит литературе вмешиваться в его личную жизнь и что не с его положением в обществе летать со скоростью света.

Писатель Дауккенс говорит, что нужно соизмерять фантазию с жизнью. Какая жизнь, такая должна быть и фантазия - ни больше, ни меньше. И во всех своих проявлениях фантазия должна быть в точности похожей на жизнь. В этом случае он - за фантазию.

И все же это прекрасно - лететь лучом со скоростью света к своей любви, к мечте своей, которую никогда не видал. И никогда не увидишь. Но все-таки лететь к ней, спешить, освещая мертвое космическое пространство. Корректор Крект почувствовал, что внутри у него что-то засветилось, и поспешил погасить этот преступный огонь.

3. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА - ЭТО ЕГО ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Миссис Хост не раз пыталась себе представить, чем занимается ее муж, когда он не ночует дома. Обычно перед ней возникала одна картина: инспектор Хост идет по следу преступника. Вокруг ночь, преступник вооружен до зубов и совершенно не оставляет следов, но инспектор продолжает идти по его следу. Вероятно, в этом сказывалось увлечение миссис Хост детективной литературой, которую сам инспектор глубоко презирал, отдавая предпочтение научной фантастике.

Детективная литература - это литература простых слов и запутанных дел, потому что если запутать также слова, то там уже никто ничего не распутает. Всякое глубокомыслие противопоказано детективной литературе, если она хочет быть популярной. Популярность - это пляж, мелкая вода, возможность поплескаться, ничем не рискуя. Широкому купальщику, как и широкому читателю, нужно дно, на котором можно твердо стоять, как стоишь на суше. В море главное суша, слегка прикрытая водой, - только такое море может завоевать широкую популярность.

Но, конечно, не у инспектора. Инспектор любит глубину. Он, как опытный пловец, не станет плескаться у берега. Ему подавай фантастику, сплетение пространств и времен, потому что в нем дух расследователя сочетается с духом исследователя. Еще в школе он открыл закон: если в двузначном числе переставить числа и вычесть меньшее из большего, то результат будет непременно делиться на девять. Учитель его похвалил, сказал, что для своего времени это большое открытие. Правда, время это, добавил учитель, было давно.

Тогда будущий инспектор исследовал разность трехзначных чисел, состоящих из одинаковых цифр, расположенных в обратной последовательности, и определил, что она тоже делится на девять и дает при делении число, состоящее из двух одинаковых цифр, составляющих разность между крайними цифрами исходных чисел:

791 - 197 = 594; 594 : 9 = 66; 6 = 7 - 1.

Учитель опять сказал, что для своего времени это большое открытие, но когда было это время, не уточнил.

Идя дальше по пути исследований в объеме неполной средней школы, инспектор обнаружил, что любые два многозначные числа с одинаковой суммой цифр при вычитании меньшего из большего дают число, непременно делящееся на 9.

И такого человека не приняли на математический!

После крушения математической карьеры будущий инспектор занялся физикой и в какой-то степени пошел даже дальше Эйнштейна. Если Эйнштейн говорил об искривленности пространства, то абитуриент Хост заговорил о его смотанности. Термин этот означает, что пространство, наподобие ниток, смотано в клубок. Если до какой-нибудь звезды по

протяженности нитки тысячи световых лет, то напрямик, сквозь клубок, каких-нибудь полквартала. Не потому ли люди так плохо понимают друг друга: им только кажется, что они рядом, а на самом деле они в разных галактиках.

Была у абитуриента Хоста и другая гипотеза. Помните лист Мебиуса? Берется полоска бумаги и склеивается в кольцо так, чтобы образовалась одна поверхность. Чтобы муха, ползущая по этой поверхности, могла ползти до скончания лет, оставляя следы с двух сторон, но не подозревая, что листок имеет вторую поверхность.

Теперь спросите у мухи о величине листка. Она ответит, что это бесконечность, не поддающаяся осмыслению. А это всего лишь полоска листа, склеенная по принципу листа Мебиуса. Каждый участок этой полоски имеет две стороны, а в целом у нее одна поверхность.

Вот так устроено все пространство. Каждый отдельный его отрезок конечен, но соединены они по принципу бесконечности. Мир и антимир находятся в любом отрезке пространства. Находясь на двух противоположных поверхностях, они наиболее приближены друг к другу, но в то же время, принадлежа одной общей поверхности, наиболее друг от друга удалены. Самое дальнее в природе одновременно и самое близкое. Чем дальше от нас точка вселенной на видимой нам поверхности, тем она ближе к нам в антимире, с противоположной стороны отрезка листа Мебиуса.

Так же устроено и время. Вечность - это не бесконечное количество лет, это время, расположенное по принципу листа Мебиуса. Каждый отрезок времени имеет начало и конец, но вечность их не имеет, она, подобно листу Мебиуса, имеет только продолжение.

Разрешив вопросы времени и пространства, абитуриент Хост двинулся дальше и пришел к выводу, что все противоположности в мире соединены по принципу листа Мебиуса: одна переходит в другую. Свет и мрак, жизнь и смерть - все это по одну сторону общей бесконечности, но противоположно в каждом ее отдельном отрезке.

Короче говоря, его не приняли и на физический.

Что оставалось Хосту? Сузить масштабы своей деятельности. Так он пришел от исследования мироздания к расследованию отдельных конкретных преступлений.

Как всякий недоучившийся ученый, недостаток знаний инспектор восполнял фантазией, поэтому преступника ему редко удавалось поймать. Но это его не смущало. Он считал, что такую элементарную вещь, как поимка преступника, давно пора поручить ЭВМ, чтобы освободить мозг человека для познания и объяснения мира. Лично для него не существовало загадок, он легко объяснял мир, и там, где отступала наука, он победно шел в наступление.

А супруга инспектора знала лишь один путь: сквозь ночь по следу преступника. Именно это она вычитала из книг и высмотрела с экрана телевизора. И когда она читала и смотрела, твердо зная все наперед, она чувствовала, что в ней погибает великий сыщик или по меньшей мере друг великого сыщика. В ней пропадал друг великого сыщика, потому что великий сыщик не ночевал дома.

Приятельница миссис Хост, пришедшая разделить с ней ее одиночество, пыталась навязать ей свои проблемы:

- Ну, вы меня знаете, миссис Хост, я не прячу от людей своего мнения. И я говорю племяннице: если тебе так нравится этот человек, почему бы тебе не выйти за него замуж? И знаете, что она мне ответила? Он ей слишком нравится, чтобы выходить за него замуж. Что значит - слишком? Чем больше нравится, тем скорее надо выходить замуж, а то ведь недолго и разлюбить. А она говорит: я не хочу разлюбить и потому не выхожу замуж. Если, говорит, мы будем все время вместе...

- Вместе! Если она хочет пореже с ним видеться, пусть выходит за него замуж. Когда инспектор был моим женихом, мы виделись почти каждый день. Представляете? Чуть ли не ежедневно!

- У него кто-то есть? - спросила миссис Смит очень тихо, чтобы не спугнуть вопросом ответ.
- Что вы, у моего инспектора! Его внимание может привлечь только что-нибудь фантастическое. А где вы видите вокруг фантастическое? К тому же у него работа, он и дома не успевает ночевать, не то чтоб еще где-нибудь.
- Миссис Хост, вы - святая женщина!
- Да нет, не такая уж я святая.
Миссис Смит сделала паузу, собираясь с духом. И спросила тихо, приглашая к интимности:
- У вас кто-то есть?
Миссис Хост рассмеялась.
- Тогда я не понимаю... - сказала миссис Смит. И она действительно не понимала.
- Нам, женщинам, это трудно понять. Мужчины способны любить только свою работу. Их хлебом не корми, только дай поработать, такой это народ.
- Бы рассуждаете совсем как моя племянница, - сказала миссис Смит, чтобы перевести разговор на племянницу. - Я своего мнения ни от кого не скрываю: можно, конечно, любить и так, но сначала нужно выйти замуж. Так я считаю и так говорю племяннице. А она говорит: если б я его меньше любила... Значит, если совсем не любишь, только тогда и выходить?
- Выходи, не выходи, все равно одна останешься. Мужчина, пока он не на пенсии, живет только для работы. А уж потом может пожить для жены.
Ждать, когда муж выйдет на пенсию? Если б только не одной ждать, если б с кем-нибудь вдвоем... Миссис Смит Хотела привести пример из жизни, но внезапно ее покинул дар слова, потому что этот пример она увидела прямо перед собой. В полутьме коридора перед изумленными глазами миссис Смит возник мужчина.
Он возник и исчез, как это обычно бывает с мужчинами, но он был тем лучом, который осветил данную ситуацию: верная супруга миссис Хост ожидает мужа, но не так ожидает, как ожидают в фантазиях, а так, как это бывает в реальной жизни.
- Конечно, в одиночестве ждать трудно, - вздохнула миссис Смит.
Нет, инспекторша привыкла ждать одна. А может быть, не одна? Интересно, с кем же? Инспекторше лучше знать, но миссис Смит у нее не спрашивает. Закон счастливой семейной жизни: ни у кого ни о чем не спрашивай.
Миссис Смит опять вздохнула, но теперь уже с облегчением:
- А я думала, вы одна.
- Я одна.
- Только не подумайте, что я о чем-нибудь спрашиваю. На такие темы я не люблю ни спрашивать, ни отвечать. Личная жизнь человека - это его личная жизнь, особенно женщины. Поэтому я не настаивала, чтобы племянница вышла замуж. Ведь замужество - это тоже, в сущности, личная жизнь.
Миссис Смит заторопилась, но торопилась долго и не спеша, пока не услышала от хозяйки:
- Посидели бы еще...
Миссис Смит тотчас прекратила сборы.
- Если вы так настаиваете... Не могу же я вас покинуть, не зная на кого... Инспектор давно ушел?
- Неделю назад.
- Удивительно: до чего стоек запах мужских духов. Неделя прошла, а до сих пор чувствуется.
- Это не он. Это я пользуюсь мужскими духами. Мне нравится этот запах. Есть в них что-то суровое, непреклонное... - Миссис Хост закрыла глаза и опять пошла по следу противника.
- Простите меня, - сказала миссис Смит, - я иногда бываю так бестактна... В вашем доме нет второго выхода?
Инспекторша вздрогнула, услышав знакомый вопрос.

- Вас преследуют? Что с вами, миссис Смит? Вы чего-то боитесь? Почему вы все время смотрите на дверь?

Миссис Смит смотрела не на дверь, она смотрела сквозь открытую дверь в коридор, в надежде, что незнакомец снова появится.

- Успокойтесь, миссис Смит, - сказала женщина, которая умела не только пользоваться мужскими духами, но в самых опасных случаях поступать по-мужски. - Входная дверь у нас на запоре, так что сюда никто не может войти.

Миссис Смит немедленно успокоилась и даже просияла:

- Значит, сюда никто не может войти без вашего ведома?

- Только инспектор.

- Да, да... Я тоже все время думаю об инспекторе... Это его портсигар? Что-то я не замечала, что инспектор курит.

- Это не портсигар. Это футляр от часов.

- Удивительно. А эти полы... в коридоре... Они у вас всегда так скрипят или только в сухую погоду?

- Они никогда не скрипят.

- Значит, мне показалось. Вы знаете, миссис Хост, нам, женщинам, многое кажется, потому что нам необходима опора. Кажется - опора, а она - не опора. Обопрешься и упадешь. Вот так мы и падаем всю жизнь, потому что всю жизнь ищем опору. Что это за тень там в коридоре? Будто человек стоит.

- Это шкаф.

- Подумайте! А тень совеем как у человека.

Миссис Смит могла отличить шкаф от человека, но сейчас в коридоре человека не было. Он больше не появлялся, и она изнемогала от ожидания. Надежды на то, что он еще раз появится, не было никакой, и миссис Смит опять начала собираться.

- Засиделась я у вас, миссис Хост. Пора домой, меня ждет племянница. Рада была вас повидать, мне было очень интересно. Пожалуйста, не провожайте, я захлопну дверь... Ради бога, извините, что я так не вовремя...

- Вы всегда вовремя, миссис Смит.

- О, миссис Хост, со мной можно без церемоний. Вы могли бы смело довериться мне, но, миссис Хост, я убегаю, я ничего не хочу слышать и знать!

С этими словами миссис Смит убежала.

4. ЧЕЛОВЕК, НЕ НАЗВАННЫЙ ДЖЕМСОМ

Оставшись одна, миссис Хост призадумалась: чего от нее не хотела узнать миссис Смит?

Вокруг сплошные секреты. Только в детективной литературе известно все наперед. Муж домой не приходит, а почему не приходит - секрет. Какие-то люди его спрашивают, а зачем он им нужен - секрет. Что-то приносят, устанавливают в квартире, а что устанавливают, зачем устанавливают секрет и секрет.

Три дня назад привезли какой-то ящик, похожий на шкаф.

- Вы заказывали НФД-593?

- Я ничего не заказывала.

- Вы супруга мистера Хоста? - Ей протянули бумагу, на которой рукой ее мужа было написано: "Прошу изготовить НФД-593. Заказ совершенно секретный".

- Мы не должны были вам это показывать, потому что заказ совершенно секретный. Но ведь для жены нет секретов.

Откуда им было знать, что у инспектора для жены нет ничего, кроме секретов?

Установили ящик в чулане, заняли весь чулан.

- А что такое НФД-593?

- Это мы сами не знаем: секрет. НФД-592 - пожалуйста, НФД-594 пожалуйста. А НФД-593 - строжайший секрет.
- А что такое НФД-592?
- Стабилизатор времени. Помните, у Гете: "Остановись, мгновенье!" Вот для этого и существует НФД-592.
- А 594?
- Кристаллизатор счастья. Ведь счастье почему так неуловимо? Потому, что оно существует лишь в газообразном состоянии. А если его кристаллизовать, оно сразу станет ощутимым, доступным каждому.
- Все эти фантазии приберегите для моего мужа. Он это любит. А я довольствуюсь фактами. Хотите выпить? Не хотите? Фантастика! А что такое НФД-300?
- Замечательное устройство. Выпрямитель орбит. Если, к примеру, выпрямить орбиту Земли, то, не сходя с Земли, можно улететь в другую галактику.
- Моему мужу только не хватало в другую галактику! Он и так неделями не бывает дома.
Миссис Хост, как женщина, далекая от фантазий, не сомневалась, что все эти НФД - чистая выдумка, а ящик этот, вероятно, набит фантастической литературой. НФД - марка издательства, 593 - количество присланных книг. Но зачем окружать это все такой таинственностью?
Видно, секреты мужчин все равно, что красота женщин: их нужно уметь хранить. Только ни того, ни другого сохранить обычно не удается.
И все же миссис Хост решила сохранить секрет, попытать себя в этом неженском деле. Не только же ей разгадывать чужие секреты, хочется иметь и свой. Поэтому она решила не звонить мужу, что заказ его выполнен. Пусть, если хочет узнавать новости, почаще ходит домой.
Миссис Хост раскрыла книжку и углубилась в чтение. "Вокруг была ночь, читала она, - преступник был вооружен до зубов и совершенно не оставлял следов, но инспектор продолжал идти по его следу... И когда уже не было никакой надежды, они встретились лицом к лицу: беззаконие и закон, бесчестие и справедливость..."
Миссис Хост подняла глаза и увидела перед собой неизвестного человека. В ее квартире, в такой поздний час.
- Не двигайтесь! - сказала миссис Хост, не отступая от текста. - Как вы здесь оказались?
- Дверь была не заперта.
Миссис Смит все же не захлопнула дверь.
- Могу я видеть инспектора?
- Даже я не могу его видеть, хоть я и жена. Почему вы не пошли к нему в полицию?
- Мне не хотелось идти в полицию. Если можно, я его лучше здесь подожду.
- Я жду его вторую неделю.
- Но, может быть, вдвоем мы его скорее дождемся? Позвольте вам представиться: Гарри Уатт.
- Уатт? Какая известная фамилия!
- Пока еще не известная... Может быть, со временем...
- Уатт - фамилия неизвестная?
- Не в том смысле... Вернее, не та фамилия... То есть, фамилия, конечно, та же, но только я - не тот Уатт.
- Об этом я уже догадалась.
- Тот был Джеме Уатт, а я - Гарри. К тому же тот Уатт давно умер, а я вот живу и даже хожу по гостям... если позволите считать себя вашим гостем...
- Поздно уже. Но, пожалуй, часок можете подождать. Вы знаете, мистер Уатт, я уже устала волноваться.
- Миссис Хост, с вашим мужем ничего не случится. На его стороне закон.

- Разве закон может защитить? Закон сам нуждается в защите. И если инспектор защищает закон, то ему нечего рассчитывать на защиту закона. Вы посмотрите, сколько у закона защитников: полиция, суд, прокуратура - всего не перечтешь. Это значит, что наш закон слаб. А преступники... Вы ведь читаете книжки, мистер Уатт, там все это ясно сказано.
- Я читаю книжки, миссис Хост. Но мне еще многое неясно.
- Конечно, если вы читаете такие книжки, как мой муж... такие книжки еще больше запутывают. Вы слыхали когда-нибудь про выпрямитель орбит?
- Ну как же... Ведь орбита - это эллипс, замкнутая кривая, а если замкнутую разомкнуть...
- Вот видите, вы рассуждаете, как мой муж. Я не удивлюсь, узнав, что вы неделями не бываете дома.
- А что такое "дома", миссис Хост? Это то место, откуда мы уходим, или то, куда возвращаемся? У нас слишком точные адреса, миссис Хост, это мешает нам чувствовать необъятность мира. Особенно возможного мира.
- Какого это - возможного?
- Есть два мира, миссис Хост: действительный, в котором мы живем, и возможный, который мы посещаем только мысленно. Он еще необъятней, чем наш действительный мир. 90 процентов запасов счастья находятся в этом возможном мире, и только 10 процентов в мире действительном. Поэтому так важно было наладить регулярное сообщение между двумя этими мирами.
- И оно налажено?
- Представьте себе. Это оказалось даже проще, чем изобрести машину времени. Из любого пункта истории нужно резко свернуть в сторону - и вот уже мы избежали крупной исторической катастрофы. Войны, например. И все несбывшиеся гении, погибшие на этой войне, некоторые даже в младенческом возрасте, остаются живыми, изобретают вечный двигатель, средство лечения рака, пишут такие книги, о которых действительный мир не мог и мечтать.
- Откуда это вам известно?
- Известно. Потому что некоторые гении из возможного мира иногда забредают в действительный мир, навеки поражая его воображение. К примеру, Леонардо да Винчи. Мы не перестаем удивляться, как в пятнадцатом веке мог родиться такой гений. Художник, изобретатель, мыслитель. А он не рождался. Все дело в том, что он не рождался. Он просто случайно забрел из мира возможного в мир действительный.
- А почему бы всей этой прекрасной возможности не переселиться в мир действительности?
- В истории так не бывает, чтобы все было хорошо. Если плохого нет, оно производится из хорошего. В истории плюс на плюс дает минус.
- Об этом тоже поговорите с моим мужем. Он у меня с детства увлекается математикой.
- Как это - у вас с детства? Вы что, замужем с детства?
- Я неправильно выразилась. Конечно, в детстве мы не были знакомы, но он уже тогда увлекался математикой.
- Вы правильно выразились, миссис Хост. Просто случайно из мира действительности забрели в мир возможности. Ведь вы могли быть с детства знакомы, могли вместе расти... В мире возможном это так и было...
- Ваши родители могли бы назвать вас Джемсом, мистер Уатт. Почему они не назвали вас Джемсом?
- Джемсом? Вы слишком многого хотите от них, миссис Хост. Они не назвали меня даже Уаттом.

5. ПОЛИЦИЯ НА ГРЕБНЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В ожидании инспектора Хоста миссис Фунт и мисс Стерлинг обсуждали свои печальные обстоятельства.

- У вас тоже пропал любовник?
- У меня пропал муж.
- А любовник у вас не пропал?
- У меня нет любовника.
- Вообще нет? Странно, что вы сами в этом признаетесь. - Тут мисс Стерлинг привела с некоторым искажением латинскую фразу, смысл которой сводился к тому, что добродетель - это всего лишь не востребованный порок или что-то в этом роде.
Миссис Фунт запротестовала, из чего мисс Стерлинг сделала вывод, что любовник у нее все-таки не пропал, и миссис Фунт должна была это подтвердить, так как это соответствовало истине. Она стала жертвой древнегреческого софизма: "То, чего я не терял, у меня есть". Согласно этой ложной мудрости получалось, что раз миссис Фунт любовника не теряла, значит, любовник у нее есть. Мисс Стерлинг немножко знала латынь, а мыслила немножко по-древнегречески.
- А у меня пропал любовник, - вздохнула она. - Такой человек... Солидный, семейный... Ах, мистер Фунт, мистер Фунт, как я буду без вас?
- Вы? Без мистера Фунта? - парадокс предыдущей фразы заключался в том, что ее должна была произнести миссис Фунт, а не мисс Стерлинг. Потому что именно она, миссис Фунт, осталась без мистера Фунта.
Но, оказывается, не только она. Оказывается, мистер Фунт - это и был любовник мисс Стерлинг.
- Послушайте, но он же мой муж!
- Разве муж не может быть любовником?
Миссис Фунт привела наивный аргумент, что ее муж, конечно, не может, но мисс Стерлинг ей возразила, что ее муж не хуже других. Не хуже, а лучше других, согласилась с ней миссис Фунт, уж она-то его хорошо знает. Мисс Стерлинг, в свою очередь, согласилась, сказав, что и она его хорошо знает, на что ей было отвечено, что, возможно, она знает другого Фунта, потому что этот Фунт, да будет ей известно, вовсе не любовник, а муж.
- Как странно вы рассуждаете: либо любовник, либо муж. Я вам могу показать его подпись.
- Он писал вам письма?
- Он подписывал мои счета.
Миссис Фунт была окончательно сражена. Чужие счета! Как будто им своих не хватает.
- Почему он оплачивает ваши счета? Ведь мои счета ваш муж не оплачивает!
- Зато мой любовник оплачивает ваши счета. И я, заметьте, это ему прощаю.
Это опять была софистика, ложная мудрость, к которой вынужден прибегать человек, попадая в ложное положение, подобное тому, в каком находилась сейчас мисс Стерлинг. Но она чувствовала себя неплохо в этом положении и продолжала:
- Миссис Фунт, мы потеряли дорогого нам человека, мы с вами товарищи по несчастью, миссис Фунт. Раньше мы были товарищи по счастью, а теперь товарищи по несчастью, эти узы самые крепкие. Беда одна не ходит, миссис Фунт, так давайте ходить вдвоем. Так мы отыщем скорей нашего дорогого мистера Фунта.
С удвоенной энергией мисс Стерлинг занялась анализом ситуации:
- Попробуем разобраться. В начале месяца ваш муж дважды не ночевал дома, не так ли?
- Два раза. Но откуда вы знаете?
- Все в порядке: он ночевал у меня. Теперь постарайтесь вспомнить: вторая неделя, ночь с понедельника на вторник. Ночевал он дома? Потому что у меня его не было.
- Он был дома.
- А в ночь со среды на четверг?
- Тоже был дома. Его не было с четверга на пятницу.
- Он был у меня, так что здесь все в порядке. Переходим к третьей неделе.

- Всю третью неделю его дома не было.
- И у меня не было... Вы не думаете, что у него еще кто-то есть? Я имею в виду на стороне, вы меня понимаете?
- Никого у него нет, - сказала миссис Фунт, твердо веря в своего мужа.
- Я так и знала. Меня бы обманывать он не стал.
- Почему это - меня бы стал, а вас бы не стал?
- Потому что я себя знаю. - Мисс Стерлинг засмеялась с облегчением. Представляете, вдруг приносит апельсиновый сок. А я его терпеть не могу.
- Это я люблю апельсиновый сок, - сказала миссис Фунт. И улыбнулась.
- Я так и поняла, что он перепутал. Слава богу, дальше нас с вами дело не пошло.
- А меня он называл Рыжиком, хотя во мне ничего рыжего нет. Но теперь я знаю, откуда это.
- Слава богу, дальше нас дело не пошло, - сказала мисс Стерлинг. И придвинулась поближе к миссис Фунт. - Знаете, как мы с ним познакомились? Это было в прошлом году. Был теплый весенний вечер, и я спросила у мистера Фунта, не покажет ли он мне "Полярную Звезду". Знаете, кондитерский магазин, неподалеку отсюда. А он стал показывать настоящую Полярную звезду. Я сразу, говорит, понял, что вы нездешняя.
- Он любит говорить о звездах.
- Тогда это был только повод, чтоб поговорить-обо мне. "Как же я могу быть нездешней, ведь звезды видны всюду", - сказала я. А он говорит: "Есть очень далекие звезды. Вы, говорит, наверно, с очень далекой звезды". Я могла ему сказать, что я из соседнего дома, но мне не хотелось его разочаровывать.
- Когда он разочаруется, он совсем как ребенок.
- Потом он сказал, что я очень выделяюсь на этой планете. Я сказала, что он тоже выделяется. И так мы стояли и выделялись на фоне этого вечера, и он рассказывал о какой-то прозрачной звезде, на которой живут совершенно прозрачные люди, так что когда у кого-то возникнет какая-то темная, нехорошая мысль, это всем сразу видно...
- Он вам наговорит! - улыбнулась миссис Фунт.
- Да, говорить он умеет. "Вы, говорит, с далекой звезды, но все далекое становится близким..." Так мы с ним сблизились...
- А мы прожили пятнадцать лет... Постойте, как же мы с ним познакомились? Если это вам интересно...
- Меня интересует все, что касается вашего мужа, - заверила мисс Стерлинг свою собеседницу.
Они были целиком во власти воспоминаний, когда вернулся инспектор. Мисс Стерлинг пожурила его за то, что он совсем забыл о них, о их деле.
- О вашем деле? Разве у вас одно дело?
Да, так получается. Они думали, что пропали два человека, а на самом деле пропал один человек. Нет, любовник пропал, и муж тоже пропал...
- Значит, все-таки двое?
- Ну почему же двое? Вы думаете, что любовник и муж исключают друг друга, а они не исключают, а подразумевают...
- Муж подразумевает любовника? Значит, их все-таки двое?
- Да нет же, один. Он у нас один: муж и любовник. Одного человека вам будет легче найти.
Одну иголку в стоге сена легче найти, чем две иголки. Обычное заблуждение. При этом муж, разумеется, иголка, а жена нитка... Муж иголка в стоге сена, а нитка... даже две нитки... а стог сена такой же большой... За какую нитку тянуть? И вытянешь ли иголку?
Инспектор чувствовал, что совсем запутался в этих нитках. И тут появилась третья нитка: позвонила жена инспектора.

Жена интересовалась, пообедал ли инспектор, принял ли лекарство и придет ли он сегодня домой. Получив на все вопросы утвердительный ответ ("Да... да... да, дорогая..."), жена упомянула о сюрпризе, который ждет дома инспектора, но сказать, что это за сюрприз, категорически отказалась ("Не спрашивай, дорогой... Даже не спрашивай... Это секрет..."). Несколькими удачно поставленными вопросами инспектор без труда раскрыл этот секрет и в радостном возбуждении положил трубку.

- Все в порядке! Теперь они от меня не уйдут. Теперь я их обоих найду! - торжественно объявил инспектор Хост. Искать надо было одного, но он теперь готов был найти обоих.

Потому что техника - великая вещь. Чего только не найдешь с помощью техники!

Ведь мы не в каменном веке живем, мы живем на гребне цивилизации. И полиция должна не отставать от цивилизации, иначе неизвестно, куда цивилизация нас заведет.

6. ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Коммерсант Борвик ужинал в кафе "Холостяк", хотя уже много лет был женатым человеком. Кафе "Холостяк" посещали в основном люди женатые, а холостяки предпочитали ужинать в семейной обстановке. Таким образом, название кафе "Холостяк" обозначало не семейное положение клиента, а всего лишь состояние его души. Состояние души коммерсанта Борвика было неизменно холостое.

- Разрешите присесть возле вас?

Этого человека Борвик видел впервые. Низенький, щуплый, с непомерно большой головой и широко раскрытыми глазами, которые, казалось, излучали сигналы бедствия, незнакомец сел, получив разрешение, и зашептал:

- Позвольте представиться: я - человек с планеты Земля.

- С какой планеты? - недоверчиво переспросил коммерсант, как будто другая планета, не Земля, прозвучала бы для него правдоподобней.

- С планеты Земля. Это замечательная планета: издали голубая, а вблизи зеленая. Сейчас уже, правда, не такая зеленая и не такая, откровенно говоря, голубая, но многое еще сохранилось...

- Кому вы рассказываете? - прервал его коммерсант Борвик, выражая этим не недоверие, а, напротив, свою осведомленность.

- Извините, - смутился незнакомец, - я рассказываю потому, что я человек с планеты Земля.

- А я, черт побери! - возвысил голос коммерсант. - Я, по-вашему, свалился сюда с Марса?

Незнакомец еще больше смутился:

- Извините. Я все забываю, что я уже на Земле. Отвык, понимаете. Я ведь мотаюсь еще с тех пор, когда на Земле изобрели порох. Запасы его так быстро росли, что я подумал: добром это не кончится. А просто уничтожить жалко: столько затрачено средств. Вот я и решил продать запасы пороха на какую-нибудь другую планету.

- Мне кажется, порох был изобретен довольно давно, - осторожно возразил коммерсант, чувствуя, что имеет дело с пациентом доктора Фрайда.

- Это у вас здесь давно. На Земле все давно. А в космосе нет понятия "давно", там есть только понятие "недавно".

- И вам удалось найти покупателя?

- О, это не так просто! В каких только цивилизациях я не побывал! Никого, представьте, не интересует оружие.

- А что их интересует? - забыв, с кем имеет дело, Борвик уже был готов предложить свой товар.

- Ну, вот, к примеру: был я на планете Дельта Стрельца. Думал так: раз Стрельца, значит, им может понадобиться порох. Но представьте: там разумные существа - белые медведи. Есть там и люди, я даже пытался с ними заговорить, но они отвечали: "Нет-нет, у нас ничего не спрашивайте. По всем вопросам обращайтесь к медведям".

- Значит, там цивилизация сосредоточена на полюсе?
- Если выражаться земным языком. Белые медведи живут там, естественно, среди льдов и среди льдов строят свою цивилизацию. Конечно, это не так прочно, как деревянные или каменные цивилизации, но зато проблема отопления сведена к нулю и даже значительно ниже нуля. Еще одно удобство: льдина служит не только жильем, но и средством передвижения. В свободное время они на льдинах подплывают друг к другу, находясь одновременно и дома и в гостях.
Коммерсант спросил для приличия, чем занимаются жители этой Дельты Стрельца в свое несвободное время, и получил ответ, что у них три основных занятия: рыболовство, рыбоводство и рыбоведение. Каждую зиму, обычно в самый холодный день, происходят выборы Самого Белого Медведя, то есть, медведя без единого пятнышка. Самый Белый Медведь формирует кабинет, в который входят министры не более чем с одним пятнышком, министры подбирают себе советников - не более, чем с двумя пятнышками, и так далее, вплоть до правителей льдин и водных бассейнов.
- Я там жил на льдине, которую занимал средних лет рыболов-теоретик с женой и двумя дочерьми. Дочери эти, легкомысленные особы, изводили меня насмешками, потешались, что у меня нет шубы, такой, как у них. Жених одной из них работал в министерстве торговли, занимая какой-то пост при советнике с двумя пятнышками. Он-то и устроил мне встречу с этим советником. Советник был длинный тощий медведь, с умной мордой и проницательными глазами. И уши его торчали так, что когда он сказал: "Я вас слушаю", - в этом можно было не сомневаться. Человек с планеты Земля опустился на ледяную глыбу, которую советник любезно ему предложил, и в нескольких словах сообщил ему суть дела. Он умолчал о качестве продаваемого товара, сказав лишь, что его очень много.
"Чего много? - уточнил советник. - Льда или соленой воды? Что вы мне продаете кота в мешке?" - Он имел в виду морского кота, потому что другие у них не водятся.
Человек с планеты Земля сказал, что он продает не кота, но что именно он продает, сказать поостерегся. Он объяснил, какие огромные средства были вложены в производство этих огромных запасов, что их хватило бы на то, чтобы не только растопить здешние льды, но и вскипятить полученную из них воду. Советник поинтересовался: зачем? - но не получил на этот вопрос ответа. Тогда он спросил, нельзя ли на тех же условиях продать им более понятный товар. Например, рыбу. Но человек с планеты Земля забрался в такую даль совсем не для того, чтобы торговать рыбой.
Советник с двумя пятнышками посмотрел на сосульку, которая здесь заменяла часы, летом тая, а зимой обрастая льдом, и опустил уши, давая понять, что больше ничего он слышать не хочет.
- Напрасно вы отказались продать ему рыбу, - сказал Борвик. - Сразу видно, что вы не коммерсант. Начнешь продавать рыбу, а там, глядишь, и порох продашь, и все остальное, что сочтешь нужным. Ведь в торговле главное что? Главное - не упустить покупателя.
Человек с планеты Земля вздохнул:
- Где его найдешь, покупателя? Такой товар... зачем его только производили? Вот так производим, производим, завалим все склады, а сбывать некуда... Вот, к примеру, на Ипсилоне Кассиопеи. Разума там столько, что некуда девать, а разумных существ нет: разум существует в свободном состоянии. Сначала я его не заметил, мне показалось, что планета необитаема: вокруг были мертвые камни и скалы, которых никогда не касалась жизнь. Я сел на камень, и вдруг странная мысль пришла мне в голову. Я точно знал, что ее там не было, я ее не принес с собой, - значит, она появилась на этой планете. "Смерть - это всего лишь форма задумчивости, когда, отказавшись от легкомысленного движения, приобретаешь мудрую неподвижность".

Камни и скалы вокруг были неподвижны, теперь я понял, что они не мертвы, а всего лишь пребывают в задумчивости, и Разум, свободный, не скованный ими Разум парил над ними и запросто общался со мной.

"Вы со мной не согласны?" - спросил Разум. Я ответил, что привык думать иначе. "Это потому, что вы считаете движение единственной формой жизни, а на самом деле это не так. Вечная неподвижность, вечная задумчивость - вот наивысшее проявление высшего Разума".

Может быть, с точки зрения высшего Разума он рассуждал логично, хотя я все же не был уверен, что это его, а не моя мысль. Когда вот так непосредственно беседуешь с чистым Разумом, трудно определить, где его мысль, а где твоя.

"А каков результат вашей мыслительной деятельности?" - спросил я.

"Деятельности? - Он удивился. - Это еще одна ошибка движущейся жизни. Жизнь, пребывающая в движении, подчиняет и мысль движению, оставляя ей лишь две возможности: созидания и разрушения. Движение целенаправлено, и оно считает, что такой же должна быть и мысль. Но это неверно. Идеальная, абсолютная мысль бесцельна, бездеятельна, и это делает ее бессмертной. Потому что, когда движешься, неизбежно приходишь к концу".

Внезапно он заявил, чтобы я не вздумал делать ему какие-либо предложения, что ни на какие сделки он не пойдет, поскольку он, нематериальный Разум, не является лицом, материально ответственным. За все, что происходит вокруг, в том числе и на нашей планете. Откуда он знал, что я собираюсь делать ему какие-то предложения? Откуда он знал, что происходит на нашей планете?

Он говорил, что руины возникают на месте здания, а там, где нет здания, не может быть и руин. У него на планете никогда не будет руин, потому что на ней никогда не было зданий. Впрочем, говорил он об этом без особенной радости, потому что, видимо, тосковал по подлинной жизни. Потому и старался выдать отсутствие жизни за какую-то особо мудрую жизнь... Вот до чего довело его состояние вечной задумчивости... Разум, оторванный от жизни, всегда направлен против жизни, и чем он разумней, тем изощренней он отрицает жизнь...

- И вы ему ничего не продали? - спросил коммерсант Борвик.

- Ему ничего не нужно... Вернее, нужно, но этого я ему не мог продать... Понимаете, он так стремительно взлетел на вершины разума, что чувства его остались где-то внизу и там, внизу, совершенно атрофировались. А сам по себе разум, без чувств, ничего не стоит, он хуже любой глупости, потому что глупость всегда оживляется чувством.

- Вы хотите сказать, что не могли продать ему чувства? Я сразу заметил, что вы никудышный коммерсант.

- А вы? Вы могли бы продать чувство?

- Любое! Хотите любовь - пожалуйста, любовь. Хотите ненависть пожалуйста, ненависть. Все, что угодно. Только заплатите хорошо.

- Боже мой, - сказал человек с планеты Земля, - как здесь все изменилось за время моего отсутствия! Или, может быть, это не Земля? Такая же голубая издали и зеленая вблизи, но не Земля? Скажите мне, я вас прошу: какая это планета?

7. ИЗДАТЕЛЬ РОКГАУЗ В СОСТОЯНИИ ЗЕТ

Человек по имени Гральд Криссби открыл вещество финин, которого в природе вообще-то нет, но за пределами природы - сколько угодно. Характерным признаком этого вещества является то, что оно не находится ни в одном из семи известных состояний вещества. Восьмое состояние, в котором пребывает вещество финин, можно было бы назвать состоянием икс или состоянием игрек, а также и другими названиями, которые перебрал человек по имени Гральд Криссби, пока не остановился на более звучном: состоянии зет.

Вещество финин обладало удивительными свойствами, не известными не только доктору Фрайду, но и всей медицине настоящих и будущих веков. Оно способно было превратить любое ощущение в свою противоположность. Человек по имени Гральд Криссби впервые испытал это на себе, попробовав пить чай с горчицей. Это было необычайно сладостное, чтоб не сказать приторное, ощущение. Затем было немало других проб. Придя на свидание с любимой женщиной, человек по имени Гральд Криссби вдруг почувствовал к ней отвращение и помчался к давным-давно нелюбимой жене, одержав победу на фронте морали, где раньше терпел одни поражения. Словом, вещество финин в состоянии зет способно было превратить жизнь человека либо в рай, либо в ад, либо в помесь того и другого, чем, впрочем, она и является.

На одном из званых обедов человек по имени Гральд Криссби попотчевал этим веществом своих тайных завистников и ненавистников, и они мгновенно воспылали к нему любовью, которую даже не смогли сдержать, как прежде сдерживали ненависть. Знатоки человеческих душ утверждают, что чувство ненависти вообще легче сдерживается, чем чувство любви, и потому, в отличие от любви, чаще проявляется в скрытой форме. Это является одной из загадок загадочной души человеческой, которую Гральд Криссби не брался разгадать, а те, что брались, тоже не разгадывали.

Речь, однако, о веществе финин, которого в природе нет, а за пределами природы - сколько угодно.

Человек по имени Гральд Криссби выделил его из тоже не существующего в природе минерала пиретрона, испытывая этот минерал не на твердость, не на жидкость, не на газообразность или плазменность, а на восьмое свойство вещества. Он воздействовал на этот минерал светом звезды Канопус, который доходит до Земли за 180 (световых, естественно) лет, но исследователь не стал ждать так долго, а воспользовался ранее излученным светом, ибо это не противоречило разработанной им методике.

Методика была простая: минерал пиретрон располагался таким образом, чтоб на него падал свет именно этой, а не какой-нибудь другой, случайной звезды, - не потому, что эта звезда отличалась от случайной звезды, а потому, что при серьезном эксперименте должны быть исключены случайности. Оставив минерал пиретрон подвергаться воздействию звезды Канопус, человек по имени Гральд Криссби отправился на свидание с любимой женщиной, которую в то время любил больше нелюбимой жены, поскольку вещество финин еще не было им получено.

Женщина по имени Сю (имя краткое и удобное при столь коротких отношениях) была далека от проблем, занимавших любимого человека, у нее были свои проблемы, среди которых не последнее место занимала жена человека по имени Гральд Криссби, в отличие от его фантастических дел представлявшая самую осязаемую реальность.

- Здравствуй, Гральд, - сказала женщина, встречая экспериментатора на пороге. - Ты устал?

Она всегда задавала этот вопрос, отдавая дань слабости сильного пола, который любит, чтоб у него спрашивали, не устал ли он, даже если он проспал подряд четверо суток.

- Чертовски устал, - сказал Гральд Криссби, отдавая дань той же традиции, и услышал традиционное:

- Бедненький! Приляг вот сюда, отдохни!

Человек по имени Гральд Криссби прилег, продолжая раздумывать о проводимом эксперименте. Если он правильно рассчитал направление света звезды, то свет должен пройти через форточку и упасть на квадрат листа, на котором лежит минерал, не встречающийся в природе. А рассчитал он, видимо, правильно, потому что рассчитывал по формуле: A^2/B^2=C^2, где C направление, а B и A - величины произвольные и чисто условные, необходимые для получения искомого результата.

"Не забыл ли я открыть форточку?" - раздумывал Гральд Криссби, в то время как женщина Сю окружала его чисто женской заботой. Если форточка закрыта, действие луча снизится ровно вдвое, - по формуле: X/Y=K, где X условное число 8, Y - условное число 4, а K - искомый результат.

- Ты меня любишь? - перевела женщина Сю его абстрактную мысль на конкретные рельсы и, придав ей таким образом направление, стала ожидать ее прибытия в назначенный пункт.

- Я тебя люблю, - сигнализировал о прибытии Гральд Криссби, не забывая, однако, думать о форточке.

Между тем тонкий лучик, прилетевший с далекой звезды Канопус, превращал обычный, правда, не встречающийся в природе минерал в удивительное вещество, способное любое человеческое ощущение превратить в свою противоположность. Даже в обычных, не экспериментальных условиях некоторые качества человека превращаются со временем в свою противоположность, но в обычных условиях это длительный и незаметный процесс, потому что звезда Канопус действует на человека непосредственно, без помощи финина, универсального вещества.

- Какая возмутительная чепуха! - воскликнул издатель Рокгауз, отбрасывая в сторону рукопись, неизвестным образом оказавшуюся у него на столе.

Это была не первая рукопись, приведшая издателя в состояние гнева, от которого он пытался воздерживаться после издания популярной брошюры доктора Фрайда "Гнев - союзник смерти". Воздерживаясь от гнева, мы воздерживаемся от смерти, но что же делать, если на столе у издателя появляется такая возмутительная чепуха?

Издатель Рокгауз развел руки в стороны и поднял их вверх, затем сделал несколько приседаний, чтобы привести себя в нормальное состояние. И когда он присел в последний раз и собирался с силами, чтобы встать (с годами это все труднее ему удавалось), на пороге появился посетитель.

- Сидите, сидите, - сказал посетитель, видя, что издатель порывается встать. - Я ненадолго...

Издатель все же встал с корточек и сел за стол - такое положение было для него привычней.

Посетитель тоже сел и сказал:

- Я - человек по имени Гральд Криссби.

- Вы?! - издателю было в пору опять сесть на корточки. - Да будет вам известно, молодой человек, что время для шуток у меня от семи до четверти восьмого, а сейчас, - он посмотрел на часы, - уже половина девятого. Приходите завтра.

- Это вовсе не шутка, я действительно человек по имени Гральд Криссби.

- Человек по имени Гральд Криссби! У меня уже этим уши набиты. Неужели нельзя говорить просто: Гральд Криссби - и все?

- Но я действительно человек...

- А другие, по-вашему, не люди? Откуда вы взялись?

- Вот из этой рукописи. - Посетитель указал на стол.

- Ага, так вы ее автор?

- Скорее наоборот. Дорогой Рокгауз, вы же там немного обо мне прочитали. И я вас хочу заверить: все, что вы прочитали, - правда, хотя и находящаяся за пределами действительности. Это более широкая правда, понимаете?

- Я ничего не понимаю и не хочу понимать.

- Вы не хотите, потому что находитесь в плену своих желаний. А вы попробуйте вырваться из этого плена в мир других желаний, вам неведомых. И вы сразу захотите меня понять. И поймете, что я существую в вашем воображении.

- Что за чертовщина! Какое вам дело до моего воображения? Кто вам позволил лезть в мое воображение?

- Вот эта рукопись, - сказал человек по имени Гральд Криссби.

- Мне нет дела до этой рукописи! - вскричал издатель Рокгауз, делая невольный шаг к тому, от чего предостерегал его доктор Фрайд. - Эта рукопись никогда не станет книгой!
- Очень жаль, - вздохнул посетитель. - Очень, очень жаль. Вы обрекаете меня существовать только в вашем воображении, в то время как я мог бы существовать в воображении десятков, сотен тысяч людей.
- Какая вам разница? Существовать в воображении - все равно, что вовсе не существовать.
- Вы не правы, дорогой Рокгауз. О, как вы не правы! Да вы возьмите хотя бы... - гость пошарил глазами по комнате, выбирая, что бы такое взять. Да хотя бы вот этот стол. Ведь и он существовал сначала в воображении. И все, все, что сделано человеком, существовало сначала в воображении. И даже вы, Рокгауз, до того, как появились на свет, существовали в воображении своих родителей, правда, быть может, несколько другим - более добрым, умным и понимающим.
- Я запрещаю вам говорить о моих родителях!
- Простите. Я проявил бестактность, заговорив о тех, кто уже существует только в воображении. Вы видите, как далеко простираются границы воображения: оно предшествует действительности и продолжает ее. И если финин уже существует в воображении, то со временем он проникнет в действительность - как космический корабль из воображения Циолковского и паровоз из воображения Стефенсона.
- Нашли с чем сравнивать! Кому нужен ваш финин, зачем это превращать ощущения в свою противоположность?
- Представьте себе, что вы замерзаете на снегу. Мороз тридцать градусов, и ничто вас уже не спасет, ничто не согреет. И тут вы достаете из кармана финин. Глотаете. И вы спасены. Вы лежите на снегу, температура которого плюс тридцать градусов.
- Вот еще выдумали - с чего это мне замерзать?
- Тогда представьте: вы прожили столько лет, что почти совсем утратили вкус к жизни. Пища вам кажется невкусней, работа неинтересной, юмор несмешным... И тогда вы принимаете финин и все преображается. И несчастье ваше становится счастьем.
- Послушайте, как вас там...
- Человек по имени Гральд Криссби.
- Послушайте, Криссби, вы просто меня морочите, я не верю ни одному вашему слову. Если жена станет любимой, куда вы денете эту женщину Сю?
Гральд Криссби ответил не сразу. Он посмотрел на рукопись, одиноко лежащую на столе, и вздохнул:
- Сю поймет. Сейчас она не понимает, но когда примет финин, все поймет, и мы с ней останемся друзьями. Потому что... Вы понимаете, звезда Канопус - это лишь одна из миллионов и миллионов звезд, каждая из которых как-то влияет на человека. Как они влияют? Эта загадка пока еще не разгадана. И мы не знаем, с какой звезды к нам прилетает любовь, а какая звезда рождает в нас бессмертные мысли... И что еще принесут нам далекие звезды, свет которых летит до Земли миллиарды лет...
- Вот тогда и приходите. Когда долетит. А пока - заберите свои фантазии. Читатель ждет от нас других книг.
Читатель ждет фактов. Ему нужна серьезная информация. Никакие выдумки его не интересуют.
Факты, факты, факты и снова факты... Сколько их накопилось - и еще подавай!
Чем больше накапливается фактов, тем меньше остается фантазий. Некоторых фантазий жаль: это были такие прекрасные фантазии!
Факты наступают. Они идут развернутым строем, вооруженные точными данными, доказанными теоретически и экспериментально, превращают в прах воздушные замки, в которых обитали фантазии...

Это факт печальный: когда рушатся воздушные замки, не хватает воздуха, чтобы дышать.

Ничего этого не сказал Рокгаузу человек по имени Гральд Криссби. Он промолчал об этом, хотя это было в его жизни самое главное.

Он только спросил:

- Разве вы знаете, чего ждет читатель?

Рокгауз усмехнулся:

- Кому же знать, как не мне. Читатель, могу с уверенностью сказать, ждет от нас новых романов Дауккенса, рассказов о работе инспектора Хоста, мемуаров майора Стенли, научно-популярных брошюр доктора Фрайда... Вот чего ждет наш читатель... Слава богу, ему есть чего ждать. Но только не этого... - Рокгауз придвинул к себе рукопись, чтобы поиздеваться над этой дурацкой звездой Канопус, но прежнего текста там не нашел. Сейчас там было написано про какой-то трансметагалактический корабль, бороздивший просторы Метагалактики. Регулятор времени стоял на нуле, время внутри корабля было остановлено - этого требовала техника безопасности, оберегая жизнь экипажа в бесконечно долгом пути.

Вместе с кораблем двигался огромный огненный шар - внешний источник питания, и корабль вращался вокруг него, постоянно пополняя запасы энергии. Так они и двигались вдоль галактики с расчетной скоростью двести километров в секунду (время остановилось только внутри корабля).

"Надо бы почистить обшивку, Зют, - сказал капитан. - Опять нас облепило космической пылью".

Зют включил радиовизор. Экран был широк, но полной картины не давал. Зют вертел регулятор панорамирования, скользя взглядом по поверхности корабля. Ее было совсем не узнать - до того она была облеплена космической пылью. Но и космическую пыль тоже было не узнать.

Экран был расцвечен зеленым, желтым, белым, оранжевым, голубым... Каких только красок здесь не было, но преобладали зеленые и голубые... Голубые набегали на желтые, рассыпаясь брызгами, пенясь и откатываясь назад, а зеленые устремлялись в другую голубизну, застывшую над ними сверкающим куполом. И над всем этим царил золотистый огненный шар - источник питания.

"Да, облепило нас... - сказал капитан, бросив взгляд на радиовизор. Пожалуй, и не счистишь за один раз".

Зют покрутил увеличитель. "Смотрите, капитан: там какие-то фигурки. Они движутся!"

Ровные геометрические конструкции, испещренные рядами блестящих квадратов, возвышались на поверхности корабля, а между ними пролегли ровные полосы, по которым двигались маленькие фигурки...

"Будем счищать, капитан?"

Зеленое смешивалось с белым и желтым и окуналось в голубое, и над всем этим сверкал и искрился источник питания. И корабль уже не был похож на корабль, а был похож на что-то разноцветное, праздничное, и казалось, жил он не только внутри, но и снаружи, и как раз там, снаружи, была главная его жизнь.

"Не будем трогать, - сказал капитан. - Это ж какая красота! Может, удастся довезти - вот наши обрадуются!"

Издатель поднял глаза, но посетителя уже не было. Возможно, он вернулся обратно в рукопись, воспользовавшись тем, что Рокгауз ее раскрыл...

Человек по имени Гральд Криссби... Как будто он боится забыть о том, что он человек, и сам себе все время об этом напоминает.

Проходимец какой-то. Нужно проверить, не унес ли он чего-нибудь. Издатель Рокгауз окинул комнату проверяющим взглядом, и первое, что ему бросилось в глаза, - это неизвестно откуда возникшая на столе бумажка. Он развернул ее и прочитал:

"Сегодня, в 24:00, в ночном баре "Звездочка" состоится встреча с пришельцами со звезды Фомальгаут (созвездие Южной Рыбы). Извините за позднее время: наша ночь в Южнорыбье - день".

Какое Южнорыбье? Где ночь, а где день?

Издатель Рокгауз чувствовал себя в этом самом состоянии зет, в котором находится вещество финин в результате воздействия луча звезды Канопус. Он развел руки в стороны, поднял их вверх, затем сделал несколько приседаний. Бумажка не исчезла, и на ней значилась все та же чушь.

Издатель сокрушенно покачал головой и поспешил к доктору Фрайду.

8. ЧЕЛОВЕК ИЗ МАШИНЫ

Любознательность - могучий двигатель прогресса, но если этот двигатель на холостом ходу, он превращается в праздное любопытство. Миссис Смит вела титаническую борьбу со своим позорным любопытством и всякий раз терпела поражение.

Первое крупное поражение за сегодняшний день она потерпела, уходя от миссис Хост и забывая у нее сумочку, за которой вскоре предполагала вернуться. Вторым крупным поражением была не захлопнутая, а лишь слегка прикрытая дверь (чтобы, отступая, не закрывать себе путей к наступлению). И, наконец, третье крупное поражение, точнее, полную капитуляцию перед своим любопытством миссис Смит продемонстрировала, вторично появляясь в комнате, где, подтверждая ее опасения и оправдывая надежды, незнакомый мужчина сидел за столом, который, видимо, накрывали к ужину.

Улика была налицо, но преступник, как сказал бы хозяин этого дома, скрылся в неизвестном направлении. Может быть, на кухню.

- О, простите, я, право, не думала... - заговорила миссис Смит в понятной растерянности. - Я вернулась за своей сумочкой, дверь была незаперта... Я считала, что миссис Хост одна, иначе бы я не осмелилась... Личная жизнь человека - это его личная жизнь, особенно женщины... А у вас тут вино, очень мило. Значит, вы не даете миссис Хост скучать.

- Я жду инспектора, - сказал Гарри Уатт.

- Вы хорошо подготовились к встрече, - миссис Смит кивнула на стол, накрытый к ужину. - Если б инспектор знал, как его ждут, он бы поторопился, как вы думаете? Вы не знаете? Оказывается, вы правдивый человек. Ну что вам стоило сказать "да"? "Да" - такое короткое слово. Но иногда легче сказать длинную фразу, чем коротенькое слово "да".

Гарри Уатт был не прочь повести разговор в том же тоне:

- И вы часто испытываете подобные трудности?

- Честно говоря, не часто. Я люблю короткие слова.

- Кратчайший путь к цели лежит через короткие слова. Однако позвольте представиться: Гарри Уатт.

- Миссис Смит, - назвала себя миссис Смит. - Мне очень приятно. Вы никогда не думали, Гарри, - вы позволите мне вас так называть?.. Вы никогда не думали, Гарри, какая пропасть разделяет мужчину и женщину? Невероятная, бездонная пропасть. Но она притягивает к себе, зовет себя преодолеть... и тех зовет, и других... Но мужчины, как более сильные, легко ее преодолевают, а слабые женщины падают в пропасть...

- Миссис Смит, вы рассуждаете, как опытный альпинист.

- Только не сочтите, что я делюсь с вами опытом.

- Как вам будет угодно. Не будет угодно - не сочту.

- А если будет угодно?.. Гарри, вы собираетесь сделать двойной прыжок? Двойной прыжок над пропастью? Меня это восхищает.

- Я действительно над пропастью, миссис Смит. Но ото совсем другая пропасть.

- Одну я, кажется, знаю... Вернее, догадываюсь... А кто же другая?

Гарри Уатт ответил не сразу. Вернее, он вовсе не ответил на этот вопрос. Вместо ответа он достал из кармана какие-то листки бумаги и приготовился и-х читать.

- Послушайте, миссис Смит, как это начиналось.

Легковой космофургон причалил к Земле, на которой не было не то что космических, но и самых обычных фургонов. Земля была аграрной планетой, нетронутым лоном природы, на котором так приятно отдохнуть от цивилизации.

"Это ты здорово придумал, Ис, - сказал Аш. - Устроить пикник на Земле, да еще прихватить с собой девочек!"

"Девочки - что надо, - кивнул Ис. - Ты посмотри на Мю, какие у нее колеса!"

"У Лю тоже неплохие колеса. У меня от них даже кружится в голове".

Компания расположилась в тени деревьев, с удовольствием вдыхая непривычный земной аромат. Аш рассказывал анекдот об экстраполированном квазипространстве, скоррегированном относительно квазивремени ab/c^2. Ис хохотал, девочки краснели и опускали глаза.

"Заправимся?" - спросил Ис, отвинчивая крышку баллона.

Все по очереди заправились.

"Между прочим, синхронизированный модуль у^ю, ретроспектированный в субстанцию (-+)^1..." - сказал Аш, но девочки, опять покраснев, попросили его вести себя прилично.

И в это время на дороге появился абориген. Он двигался как-то странно, но в чем была эта странность, сначала трудно было понять. Абориген раскачивался из стороны в сторону, как разболтанный фургон, которому только бы дотащиться до ремонта.

"У него нет колес!" - воскликнула Лю.

"(A^2 + B^2 - C^2)/k! - выругался Ис. - Как же он передвигается?"

Абориген двигался, переставляя какие-то две палки, а другими двумя палками загребая воздух по бокам.

"И смотрите, не падает!" - удивилась Мю, при этом Аш воспользовался случаем и погладил ее колесо, словно выражая приверженность именно к этому виду передвижения.

Абориген приблизился. Он долго и внимательно разглядывал пришельцев, и в голове его проносились - сначала медленно, а потом все быстрей - будущие телеги, кареты, поезда, будущие автомобили, трамваи и троллейбусы...

"Отдыхаете? - спросил абориген. - Да, вам уже можно отдыхать. - Он крутанул колесо Мю, не видя в этом ничего неприличного. - А нам отдыхать некогда. Мы тут, как белка в этом... как его..." - Он не договорил. Он лишь махнул рукой и пошел своей дорогой.

- И что же дальше? - спросила миссис Смит.

- Дальше? Как пошел своей дорогой, так с тех пор и идет... Тогда для него колеса были в диковинку, а теперь куда ни погляди - всюду колеса...

- Это была внеземная цивилизация?

- Может, внеземная. А может, земная, прилетевшая из будущего, чтобы поделиться опытом с прошлым. Иначе откуда прошлое узнало бы про колеса?

- Гарри, что-то я ничего не понимаю... Прошлое узнает от будущего, будущее узнает от прошлого... А откуда они все узнают? Вы меня, Гарри, совсем запутали.

Гарри Уатт спрятал в карман свои листки.

- Вы знаете, миссис Смит, что такое бог из машины? Был в древних трагедиях такой персонаж, который распутывал все ситуации. Так вот, я человек из машины. Но я ничего не распутаю, а только больше все усложню.

- Теперь я понимаю. Да, Гарри, теперь я понимаю... Эти колеса... Эти машины... Они вытесняют самое сокровенное, человеческое... Но ведь полностью они не могут заменить человека? Ведь не смогут?

- Две машины стоят над пропастью, над которой проложен мост. Все рассчитано, все учтено. Никто не летит в пропасть.
- Нет-нет, Гарри, не надо!
- Машина говорит машине...
- Они разговаривают?
- А почему бы и нет? Раз они мыслят... "Машина! - говорит машина машине. - Я тебя люблю. Я люблю каждую твою деталь, каждый винтик, каждую шестеренку. Когда мои телекамеры впервые увидели тебя, а мои микрофоны впервые услышали тебя, мои двигатели задвигались быстрей, мои счетчики показали самое высокое напряжение".
- О боже! - воскликнула миссис Смит. - Зачем вы мне рассказываете эти кошмары?
- Простите, миссис Смит, машина еще не кончила. "Между нами, машина, продолжала она, - проложен мост, который не даст нам свалиться в пропасть. Но ведь у нас нет чувств, моя любовь к тебе - это механическое явление, необходимое для разрядки аккумуляторов, для снятия высокого напряжения, которое может каждому из нас повредить. Чисто физическое влечение, а никакое не чувство. Ведь ты ничего не чувствуешь ко мне, машина? И я к тебе ничего не чувствую... Значит, мы будем счастливы, мы не свалимся в пропасть, тем более, что между нами проложен мост. Мост - это единственное, что может быть между нами..."
- Какой ужас!
- Почему ужас? Человечество постепенно к этому привыкает и, создавая машины, изменяет себя по их образу и подобию. Ученые даже утверждают, что человек - всего лишь запрограммированная машина, приучают человека к этой мысли, чтобы потом она не была для него неожиданностью.
- Потом? Значит, еще не скоро? - миссис Смит вздохнула с облегчением. Как вы напугали меня! Все-таки человек - не машина, о себе, во всяком случае, я не могу этого сказать... Хотя и без машины тоже нельзя: пришлось бы пользоваться городским транспортом.
Столь интересно начатый разговор был прерван появлением хозяйки дома. Пока миссис Хост разгружала поднос, миссис Смит ей объяснила, что вернулась за своей сумочкой, и получила приглашение остаться, выпить за здоровье мистера Хоста. Это последнее предложение миссис Смит несколько удивило, и она не сочла нужным скрыть свое удивление.
- За здоровье инспектора? Право, я даже не найду, что сказать. А вы, Гарри? Вы мне позволите, миссис Хост, называть вашего приятеля Гарри? Он мне позволил...
- Пожалуйста, не стесняйтесь, - сказала миссис Хост. Но миссис Смит все-таки немного стеснялась.
- Он мне позволил называть его Гарри, потому что мы с ним любим короткие слова. Чтобы люди могли покороче познакомиться, им необходимы короткие слова.
- Чтобы быть на короткую ногу, - объяснил Гарри. - Тем более, что жизнь коротка.
- Вы уже заметили, что жизнь коротка? - съязвила миссис Хост. Подумать только, я вышла всего на несколько минут, и вы уже это заметили!
Миссис Смит понемногу брала бразды в свои руки:
- Миссис Хост, почему бы Гарри не называть вас Лиззи? Тогда мне не будет казаться, что я здесь лишняя. А меня, Гарри, называйте Джекки. И вы, Лиззи, если не возражаете. - Миссис Смит торжественно подняла бокал. Гарри, Лиззи, так за что же мы пьем? За здоровье мистера Хоста?
- Я с удовольствием, - сказал Гарри.
- Очень мило! Вы, Гарри, настоящий человек из машины. Лиззи, он вам не говорил, что он человек из машины? Это потому, что у нас технический прогресс. Гарри говорит, что машина создает человека по своему образу и подобию.
- Это разговор для моего мужа. Он бредит всеми этими техническими усовершенствованиями.

- Что касается меня, - сказала миссис Смит, - то я согласна работать, как лошадь, только бы иметь возможность мыслить и чувствовать, как человек. Волноваться, любить и даже страдать... Нет, пожалуй, страдать это лишнее.

- Но ведь страдание - самое человеческое чувство, возразила миссис Хост, однако миссис Смит и тут нашла оправдание:

- Я достаточно буду страдать от того, что буду работать. А помимо этого я хочу жить полной жизнью: волноваться, любить. Я не хочу быть человеком из машины, не хочу быть ее деталью. Деталь легко заменить, а если меня заменят, от меня ничего не останется.

- Вас еще долго не заменят, Джекки, - сказал Гарри как истинный джентльмен. - Недавно среди машин распространили анкету: какой машиной вы хотели бы быть. Большинство ответило: только не мыслящей. Потому что век мыслящих люден прошел, и мыслящие машины - тоже, видимо, ненадолго.

- Так прямо и ответили? - возмутилась миссис Смит. - Но ото же нахальство, вы не находите? А вот интересно, вы, Лиззи, какой машиной хотели бы стать? Только не говорите, что швейной или стиральной, забудьте свои хозяйственные дела.

- Может быть, машиной времени?

- Ага, я поняла. Чтобы вернуться туда, где можно снова стать человеком? Лиззи, вы умеете устраиваться, я всегда это подозревала.

- Если станете машиной времени, возьмите меня пассажиром, - серьезно сказал Гарри Уатт.

- Вас уже взяли, Гарри, неблагодарный! - напомнила ему миссис Смит. Вас возвратили в ваши лучшие времена, а вы и не замечаете? Ведь машина времени - это любовь, она возвращает человека в его молодость. - Миссис Смит погрозила подруге пальцем: - Вот мы, Лиззи, и разгадали, почему вы хотите стать машиной времени. Это каждая женщина хочет, особенно если есть пассажир.

- Это прекрасные слова, миссис Смит. Давайте почтим их минутой молчания.

- Молчанием, Гарри? Я понимаю, иногда молчание красноречивее слов, но там, где больше двух, принято говорить вслух, а не обмениваться молчанием, пусть даже красноречивым.

- Что-то инспектор задерживается, - сказал Гарри Уатт.

Миссис Смит его успокоила:

- Не беспокойтесь, сейчас придет. Инспектор Хост видит буквально на расстоянии, тем более такого человека, как вы. Из машины.

- Мы с инспектором оказались в одной машине, которая, в тому же, ведет нечестную игру. Эти мыслящие машины... Лишь только их научат мыслить, как они начинают мошенничать.

- Мы слишком много говорим о машинах, - сказала миссис Хост. - Даже в этих книжках про будущее, которые читает мой муж, человека не видно, одни машины.

- Когда человек изобретет Машину Счастья, которая сможет исполнять все его желания, ему нечего будет пожелать, - сказал Гарри. - Материально он будет обеспечен, духовно - обеспечен. Что же остается этой Машине Счастья? Сделать всех академиками? Знаменитыми актерами кино? Были когда-то у человечества представления о счастье, но они давным-давно признаны ошибочными. Любовь заменена электронно-вычислительным подбором партнеров, наслаждение прекрасным заменено полезными наслаждениями, мечта опровергнута точным расчетом. И стоит человек перед Машиной Счастья, и не знает, как ему быть. Он разучился быть счастливым с тех пор, как перестал быть несчастным.

- Это ужасно, Гарри! Что же тогда ему остается?

- Миссис Смит, ему остается одно: сохранить о счастье прежние представления. Не поддаваться соблазну машин, чтоб не погубить в себе человека.

- У нас получился слишком серьезный разговор, - вздохнула миссис Смит. - А серьезные мысли - признак старост". Ведь даже эти самые мыслящие машины сделаны из металла, который пролежал в земле миллионы лет. За такой срок можно было избавиться от эмоций. Кстати, Гарри, а где ваша машина? Вы нам ее покажете?

- Она здесь.

- В квартире?

Миссис Хост не удивилась. Она испугалась. Детективные сюжеты зашевелились в ее мозгу.

- Как это понимать, мистер Уатт?

Миссис Смит ей ответила:

- Лиззи, это совсем не сложно понять. Я, например, с самого начала все поняла и теперь тоже все понимаю. Дело в том, Лиззи, что машины - это совсем не машины, это такая аллегория. И мы с вами, как две машины, стоим над одной пропастью. Но я сейчас ухожу, Лиззи, я ухожу. Не стану вам мешать падать в пропасть.

9. ЗВОНОК ИЗ КОСМОСА

Когда мужчина пропадает у одной женщины, он непременно отыскивается у другой, но когда он пропадает сразу у двух, где его искать?

Прежде и преступники, и блюстители порядка подчинялись одним и тем же законам логики. Поэтому было легче, с одной стороны, преступать законы, а с другой - их охранять. Современные же преступники вообще не признают никаких законов, в том числе и законов логики. Это серьезное нарушение, и полиции следовало бы иметь специальную службу по борьбе с нарушителями законов логики. Но тогда бы преступность у нас возросла, потому что законов логики кто только не нарушает! Хотя старый логический метод, конечно, хорош, если б все мыслили одинаково. А так приходится перебирать столько вариантов, что без электронно-вычислительной машины не обойтись.

Но теперь у инспектора есть такая машина. НФД-593, Новейший Феноменальный Детектив, сконструированный Н.Ютоном по его специальному заказу. Умница этот Н.Ютон, хоть и украли у него усилитель интеллекта, а он все же создал робота-сыщика, как обещал. И прямо дома установил, а не на работе, где его бы загоняли мелкими поручениями. Теперь оставалось только добраться до дома...

Но это оказалось нелегко. Едва инспектор взялся за ручку двери, как зазвонил телефон.

- Инспектор Хост? С вами говорят с созвездия Южной Рыбы. Ничего страшного, пара десятков световых лет. Но теперь уже остались считанные световые минуты. Скоро будем у вас на Земле.

- У нас на Земле? А вы, собственно, откуда звоните?

- Южнорыбцы мы. Фомальгаутяне. Светимость 11, видимая величина +1,3, расстояние 23 световых года. Теперь узнаете, Хост?

- Ни черта я не узнаю! Чушь какая-то! Абракадабра!

- Каким словам научились! - сказали на том конце провода или, может, эфира. - Когда мы были у вас последний раз, вы тут вообще ни над чем не задумывались. Гонялись друг за другом - ну прямо как дети: зайцеобразные, кошкообразные, крокодилообразные... Мы только голову ломали: кто из вас первый над чем-то задумается? Конечно, зайцеобразные предпочтительней крокодилообразных, но и это не лучший вариант. Трусливый разум стоит жестокого разума.

- Это вы так думали, когда прилетели на Землю?

- Ну да. В первый раз. А вдруг, думаем, это будут насекомообразные? Самые маленькие, неприметные, вдруг они возьмут и наведут здесь порядок? Пожалуй, это еще пострашней, чем крокодилы, - когда порядок берутся наводить насекомые.

- Значит, волновались за нас?

- Волновались. Многое зависит от того, кто поднимет планету на вершину цивилизации. Поднять-то не штука. Трудней ее там удержать, чтоб она не рухнула с этой вершины... В общем, это нетелефонный разговор. Вы пока не отходите от телефона, мы будем держать с вами связь.

Говорящий повесил трубку или что там у него было - не исключено, что в созвездии Южной Рыбы никаких трубок нет. Читал же инспектор недавно в какой-то книжке, что в созвездии Треугольник никаких треугольников нет. Начисто отсутствуют. Есть квадраты, окружности, а треугольников нет. Хотя созвездие называется Треугольник.

Конечно, не верилось, что так вдруг они прилетят. Во-первых, как они могли позвонить по телефону? Если б еще связались по радио, на коротких волнах... Хотя, помнится, был такой случай, описанный в литературе: пришельцы, подлетая к Земле, подключались к любому прибору. К телефону, телевизору, даже к холодильнику, если была такая потребность.

Хорошо, что эти южнорыбцы уважают порядок: прежде всего позвонили в полицию. Хотя, если б они не позвонили, он бы уже был дома, мог бы воспользоваться НФД. Считанные световые минуты - сколько ж это по земному времени?

Инспектор подошел к окну. За окном был весенний вечер. Хорошо знакомая Манчестерская улица жила своей обычной вечерней жизнью. И вдруг... Инспектор с трудом верил своим глазам... На освещенной табличке, на которой прежде было написано "Манчестерская улица", он прочитал: "Малая Галактическая".

- Большой селех! - сказал инспектор. Это выражение он позаимствовал из повести "Будни планеты Ехи". Будни этой планеты были постоянным праздником. Разноцветные шары купались в зеленом небе, распространяя в слехе (тамошнем воздухе) мелодичные трели и свист.

"Это наши лехелы (то есть, деревья), - объяснил землянину Прайсту один из тамошних хесов (местных жителей). - А на них селы поют".

В том, что птицы поют, не было ничего удивительного, но что они летают вместе с деревьями, было, как сказала бы миссис Прайст, несколько экстравагантно.

Деревья-путешественники... Это, вероятно, имело свой смысл, но хес говорил об этом без восторга.

"Нет у них настоящей привязанности к родной ехе (то есть, земле). Да и откуда ей взяться? Хозяйства у них нет, семьи нет, потому и нет любви к ехе, на которой выросли".

Прайст спросил у него, неужели он всю жизнь сидит на одном месте. "Мы сидим, - сказал хес. - Мы не лехелы. И не селы. Мы хесы, поэтому мы сидим".

Прайст заметил, что от долгого сидения ноги его стали уходить в грунт и разветвляться там наподобие корней, как у сидящего против него хеса. Он решительно встал.

"Посидели бы еще, - сказал хес. - Я вам хлесо (хозяйство) покажу. Я недавно вывел новый сорт сехесы (пшеницы). Ой, какая сехеса! Она, представьте, не летает, а растет на ехе, прямо на ехе (то есть, на земле).

Но беспокойные лехелы устремлялись в неведомую даль, они звали туда, где светят далекие лесхи...

- Селех! - сказал Прайст. - Большой вам селех!

То есть, большой вам привет, я поехал!

Планета Еха произвела на инспектора впечатление, и кое-что из нее он запомнил. И теперь, прочитав надпись "Малая Галактическая", инспектор сказал, усомнившись в действительности:

- Большой селех!

В это время раздался звонок. Инспектор бросился к телефону.

Нет, это были не они. Звонил майор Стенли. Он получил официальное извещение, что, минуя все промежуточные чины, его производят прямиком в генералы. Да, конечно, можно поздравить, но дело в том, что произведен майор Стенли в генералы не в своей родной армии, а в какой-то

неизвестной армии Альдебарана. Ему предписывается в течение ближайших двух дней явиться к месту несения службы, а куда явиться - не сказано.

Он перелистал все военные справочники, но армии Альдебарана нигде не нашел. Британская энциклопедия указывает, что до Альдебарана лететь шестьдесят восемь лет, если, конечно, лететь со скоростью света. Майору Стенли не привыкать к скоростям, военная служба требует оперативности, но шестьдесят восемь лет - это, конечно, не для него. Он не пролетит и десяти, как его уволят в отставку.

Инспектор посоветовал ему обратиться к доктору Фрайду.

Только он повесил трубку - опять зазвонил телефон. На этот раз инспектора потревожил Н.Ютон. Нет, не по поводу робота, робот - это что ж... Обещал - сделал, не стоит благодарности... Н.Ютон звонил по поводу украденного усилителя... Нет, не нашелся... И не нужно, чтоб находился... Только что Н.Ютон проходил по Квазарной... Это параллельно орбите Пульсарной... Неужели инспектор совсем не знает города?

- Назовите улицу.

- Это еще зачем? Жизнь во вселенной течет по орбитам, а не по этим... как вы их назвали?.. улицам.

- И что же на этой Квазарной? Неужели опять ограбили?

- Напротив, инспектор. Меня осенила мысль. Усилитель интеллекта морально устарел по сравнению с тем, что я сегодня придумал. Метод элементарно прост. Все клетки организма имеют примерно одинаковое строение, но мыслят только клетки мозга. Это создает огромные потенциальные возможности. Представляете, инспектор, каких мы достигнем вершин, когда мыслить у нас будет не только мозг, но и руки, ноги, живот и прочее? В голову будут приходить только самые великие мысли, а средние и незначительные будут приходить в другие части тела.

- Я это плохо представляю.

- Потому что мыслите только головой. Пока ваша голова набита пустяками, вместо того, чтоб заниматься великими мыслями. Но будьте спокойны: идея уже найдена, остается ее осуществить. Пожелайте мне успеха.

Прошло еще несколько минут. Несколько световых минут.

Наконец раздался долгожданный звонок:

- Следуем прежним курсом. Самочувствие нормальное. Пожалуйста, не отходите от телефона.

И опять повесили - что там было у них.

Как долго тянутся эти световые минуты!

- Беда, инспектор! Беда! Большое, огромное несчастье!

Инспектор с трудом узнал корректора Кректа. Лицо корректора было искажено ужасом.

- Что случилось, Крект?

- Послушайте, инспектор, вы не поверите. Я задремал над рукописью...

- Что ж тут особенного? Кто у нас не спит на работе.

- Я не об этом. Сплю я, конечно, сплю на работе. Правда, во сне я тоже читаю рукописи. Так было и на этот раз. Я уснул над брошюрой Фрайда и приснился мне роман Дауккенса. Я и над ним тоже уснул и приснились мне записки майора Стенли...

- Для вас, я вижу, нет преград.

- Ну почему же нет? В конце концов я проснулся. Смотрю - рукописи нет. Тогда я подумал: может, я ее во сне в шкаф положил? Со мной это тоже бывает. Спать-то спишь, а подсознание работает: как бы рукопись не стянули. Спрячешь ее, а потом сам не можешь найти. Подошел я к шкафу, смотрю...

Корректор Крект заплакал. Это было неожиданно для обоих, и оба смутились, не зная, как с этим быть.

- Понимаете, там, в шкафу, не осталось ни одной рукописи. Новая повесть Дауккенса, мемуары Стенли, медицинские статьи Фрайда, не говоря уже о бессмертном романе Даниеля Дефо... Рокгауз этого не переживет. Да и сам я этого не переживу. Рукописи почти все вычитаны, ни одной ошибки. И все исчезло. Вот - только это оставили.

Крект протянул инспектору клочок бумаги. Инспектор прочитал:

"Сегодня, в 24:00, в ночном баре "Звездочка" состоится встреча с пришельцами со звезды Фомальгаут (созвездие Южной Рыбы). Извините за позднее время: наша ночь в Южнорыбье - день".

- Вы считаете, что кража связана с этими космическими делами?

- Прежде этой бумажки не было. Исчезли рукописи - и она появилась.

- Значит, в 24:00. А сейчас? О, уже начало первого... Что-то наши пришельцы заставляют себя ждать.

- Как же заставляют ждать? Рукописи уже украдены.

В это время опять зазвонил телефон:

- Алло, инспектор Хост? Рады вам сообщить, что все протекает нормально. Самочувствие отличное. Настроение отличное. Можете отойти от телефона.

10. ЖИТЕЛИ ФОМАЛЬГАУТА ПРИВЕТСТВУЮТ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

Сидя в приемной доктора Фрайда, пациенты Рокгауз, Стенли и Дауккенс обменялись информацией, и болезненные страхи каждого утроились. Издатель Рокгауз понял, что пришельцы, назначившие ему свидание в кафе "Звездочка", не только пытаются использовать издательство, но и вербуют наших военачальников для своих вооруженных сил. Писатель Дауккенс заподозрил, что вскоре инопланетные повести и романы обрушатся на Землю, расчищая путь грядущим военным действиям, ибо генералы нужны именно для военных, а не для каких-либо еще действий. А майор Стенли сообразил, что преждевременное его производство связано с веществом финин, которое может в любой момент превратить генерала в рядового солдата.

Затем появился коммерсант Борвик, который, непринужденно вмешавшись в разговор, заявил, что от всех болезней можно избавиться, если продать их куда-нибудь на другую планету. В конце концов есть планеты, на которых болезней недостаточно, а у нас их в последнее время явный переизбыток. Коммерсант Борвик затем и пришел, чтобы предложить доктору Фрайду сотрудничество, создание нового лечебного концерна "Борвик и Фрайд", Фрайд принимал бы пациентов, а Борвик сплавлял бы их болезни куда-нибудь подальше, в другие галактики. Главное - найти покупателя, но это уже забота коммерсанта.

Доктор Фрайд поставил всем один и тот же диагноз, который он на грекоизированной латыни назвал "морбус космус", что означает в переводе с этих двух языков "космическая болезнь" и связано с тем, что Земля со всех сторон окружена космосом. Он прописал им режим, строжайше запрещавший смотреть на небо, в особенности звездное, читать что-либо по астрономии, а также загорать на солнце. Предложение посетить ночной бар "Звездочка", чтобы хоть краем глаза взглянуть на пришельцев, доктор Фрайд категорически отверг, ибо, сказал он, общение с пришельцами особенно пагубно при заболевании морбусом космусом.

Несмотря на это, четверо его пациентов, покинув кабинет своего целителя, устремились в бар "Звездочка", желая, во-первых, удовлетворить свое любопытство, а во-вторых, соблазнившись предложением Борвика продать пришельцам свою космическую болезнь.

Впереди шествовал генерал Стенли (для них, посвященных, он был уже генерал), за ним следовал коммерсант, а за коммерсантом писатель с издателем. Четверо отважных жителей Земли шли навстречу своим братьям по разуму.

Между тем ночной бар "Звездочка" вел мирную и даже не просто мирную, а лихорадочно мирную жизнь, словно спеша компенсировать все военные и другие невзгоды. Пациенты доктора

Фрайда с минуту постояли в дверях, разглядывая завсегдатаев бара, но подозрительных среди них не нашли и направились к свободному столику.

Прежде чем сесть, генерал Стенли огляделся вокруг и пришел к выводу, что позиция выбрана удачно. Позади их столика была глухая стена, слева шкаф, который в случае надобности можно было перевернуть, превратив в надежное укрепление.

Писатель и издатель продолжали разговор, начатый по дороге.

- Зачем придумывать жизнь, если она достаточно хороша не придуманная. И достаточно плоха не придуманная. Все равно не придумаешь лучше и хуже, чем есть.

- Вы правы, Рокгауз... я как раз об этом писал...

- Преступление и наказание, - продолжал издатель, не слыша писателя, их столкновение, борьба между ними. Когда преступление, совершившись, бежит, а наказание его преследует, собирая по дороге следы, отпечатки пальцев я прочие улики. Когда наказание устраивает засаду, а преступление отстреливается, вырывается и снова бежит, а наказание, оценив обстановку, разрабатывает новый план преследования...

- Помните, я писал... - опять заикнулся писатель.

- Ничего я не помню. И ничего знать не хочу. У инспектора Хоста сюжетов целый шкаф, из этого можно сделать такую литературу! А что делают? Нет, вы только посмотрите, что делают! Взять хотя бы этот ужасный роман "Солнце под землей". На остывающей звезде возникает жизнь, для которой единственный источник тепла - эта самая полузвезда-полупланета. Тепло идет из подземелья, а над головой солнца нет, и потому все жители слепы. Но это им не мешает. Наоборот. Они достигают вершин разума, потому что они не глазеют по сторонам, а занимаются самосозерцанием.

- Значит, они и книг не читают? - поразился Дауккенс.

- В том-то и дело, что нет. У них там другие средства информации. И они достигли всеобщего благополучия, потому что никто не видит, что происходит вокруг. Но постепенно планета их остывает, это грозит им гибелью, и они решают воспользоваться внешним источником тепла - какой-нибудь неостывшей звезды или целого созвездия. Они давно научились управлять полетом своей планеты, и они направляют ее к самой горячей звезде.

- Мне это нравится, - сказал майор Стенли. - Я бы сам с ними полетел.

- Но они не учли одного; тепло звезды непременно сопровождается светом. А им нужно было только тепло, чтобы спокойно греться и по-прежнему не видеть, что происходит вокруг. И когда они прилетели к звезде, которая стала для них солнцем, они не выдержали света и жизнь на их планете оборвалась.

- И на этом роман кончается? - спросил писатель Дауккенс, критически оценивая сюжет.

- Автор говорит, что впоследствии на этой планете возникли новая жизнь и новая цивилизация, рожденные солнцем в потому не представляющие себе тепла без света. Как бы ни было жителям этой солнечной планеты тепло, они непременно тянутся к свету. Потому что у них есть глаза и они хотят видеть все, что происходит вокруг.

- А что это за планета? - поинтересовался майор. - Она случайно не имеет отношения к Альдебарану?

- Разве вы не догадались? Эта планета - Земля. Представляете? Земля! А между тем о Земле у нас совершенно другие сведения.

Да, чего только не придумают эти фантасты. Мало им настоящего, им подавай другие времена. А почему, скажите, не писать о настоящем? В прошлом были свои писатели, в будущем будут свои писатели, а вы живете в настоящем, вот в пишите о настоящем. Этой мысли придерживался издатель Рокгауз, и писатель Дауккенс был с ним совершенно согласен. Был с ним согласен и коммерсант Борвик, который ни из прошлого, ни из будущего не мог извлечь того, что извлекал из

настоящего. И только майор Стенли имел несколько другой взгляд: ему очень пришлось по душе, что население оседлало свою планету и понеслось на ней, как на каком-нибудь броневике или танке штурмовать далекое Солнце, в миллион раз большее нашей Земли. В этом был настоящий боевой задор и презрение к превосходящим силам противника.

- Почитать бы эту книгу, - сказал майор Стенли. У него давно уже не было этого желания - почитать.

За соседним столиком расположились две дамы. Это было не страшно, потому что вряд ли пришельцы могли оказаться женщинами, но разговор двух дам моментально вытеснил все окружающие разговоры, и пациентам доктора Фрайда пришлось замолчать.

- Дорогая мисс Стерлинг, - говорила дама постарше (что она, однако, никак не подчеркивала), - за те несколько часов, что мы с вами знакомы, я не перестаю удивляться вашей смелости. Я бы ни за что не решилась переступить порог этого заведения.

- А я переступала, миссис Фунт, и не раз. Мы здесь бывали с вашим мужем.

- Ах, этот мистер Фунт! Хорошо еще, что он был здесь с вами, а не с кем-то чужим.

- Кто его знает. За этим мы сюда и пришли - поглядеть, не бывает ли он здесь без нашего ведома.

- Мисс Стерлинг, как вы можете! До такой степени не верить человеку!

Издатель Рокгауз хотел высказать своим собеседникам очередное соображение, но оно прозвучало так:

- Миссис Фунт, не будьте так наивны!

Голос мисс Стерлинг бесследно поглотил голос издателя.

Майор Стенли, чтобы не быть невольным свидетелем постороннего разговора, решил принять в нем участие. Он подошел к соседнему столику и, щелкнув каблуками, представился:

- Майор Стенли!

- Боже, как приятно! - воскликнула мисс Стерлинг. - Неужели майор? А выглядите вы прямо генералом.

- Кгм! - сказал майор Стенли. - В любом чине готов вам служить.

- Вы слышите, миссис Фунт? Нам будет служить майор! Садитесь с нами, майор! - мисс Стерлинг указала место рядом с собой и крикнула сидящим за соседним столиком: - Джентльмены, вам придется обойтись без майора.

Таким образом армия осталась без генерала, а генерал приобрел новую армию.

При всех этих военных перемещениях бар "Звездочка" продолжал жить своей лихорадочной мирной жизнью, и часы, которые били здесь только полночь, не были услышаны никем, кроме двух незаметных джентльменов, примостившихся в самом дальнем и темном углу. И тогда эти двое вышли на середину зала, коснулись пальцами пола, что, видимо, должно было означать приветствие, и провозгласили:

- Жители Фомальгаута приветствуют жителей Земли!

Официанта вынесли сразу. Буфетчик остался лежать за стойкой, обхватив руками вечернюю выручку.

11. ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы явиться домой именно в тот момент, когда жена распивает вино с неизвестным джентльменом, но нужно быть Шерлоком Холмсом вдвойне, чтобы с первого взгляда понять, что здесь ровно ничего предосудительного не происходит. В этом смысле инспектор Хост оказался на высоте.

- Добрый вечер, - сказал он любезно, - извините, что заставил ждать.

- Это мистер Уатт, дорогой.

- Очень приятно. Постойте, постойте... Не тот ли вы Уатт?..

- Нет, милый, это вовсе не тот Уатт. Тот был Джеме, а этот Гарри.

- Я, естественно, имею в виду не Джемса, а именно Гарри. Не вам ли принадлежит роман "Последние люди вселенной"?
- От инспектора полиции не скроешься.
Да, оказывается, напечатав роман, от инспектора полиции не скроешься. Тем более, что это был такой роман...
Пульсирующая вселенная после многих миллиардов лет расширения сжимается, и жизнь на ней должна исчезнуть. Любая жизнь, во всех ее проявлениях. Спасения искать негде, потому что из вселенной не выпрыгнешь. Терпящие бедствие и мечущиеся по вселенной представители разума разных планет и галактик сбились в кучу на космическом островке, которому предстоит быть раздавленным вместе с ними. И вот, стремясь хоть что-то спасти от гибнущих цивилизаций, они отправляют послание в будущее. Ведь пройдут еще миллиарды лет, вселенная снова начнет расширяться, на ней возникнет жизнь, и придется начинать все сначала. Быть может, тем, будущим разумным существам пригодится опыт прошлого... Во второй части романа вселенная снова живет, но никто не может прочитать послания. Оно, закодированное в атомах всех известных в то время элементов, носится по вселенной, и новая жизнь дышит и живет им, не подозревая, что питается прежней жизнью. И чтобы прочитать послание, нужно остановить жизнь во вселенной.
- Мне понравилось, что послание погибшего разума все же дошло, хотя прочесть его оказалось невозможным, - сказал инспектор Хост.
- Новый разум не любит жить старым разумом.
- Но все-таки он им живет незаметно для себя. Это мне нравится. Прямые показания никогда так много не говорят, как различные оговорки, недомолвки, умолчания... А над чем вы сейчас работаете, извините за банальный вопрос?
- Сейчас я - человек из машины. Из той самой машины, которую вы заказывали.
- Из НФД-593?
- Да, инспектор. Меня посадили в нее, потому что она должна была мыслить.
- А разве без вас она мыслить не могла? Н.Ютон меня заверял...
- Н.Ютон порядочный человек, и он с удовольствием изобрел бы для вас механического сыщика, но он просто не может этого сделать.
- Почему?
- Потому что он не изобретатель.
- Вот тут уже вы ошибаетесь, мистер Уатт. Н.Ютон изобрел усилитель интеллекта, который, кстати, уже морально устарел, и теперь Н.Ютон изобретает новый, более совершенный.
- И даже уже изобрел. В романе "Планета сверхразума".
- В романе? Не может быть! Я не читал этого романа.
- У Н.Ютона нет напечатанных романов, у него пока только написанные.
- Не хотите же вы сказать, что все это сплошное шарлатанство?
- Не хочу сказать. Но скажу. Мне трудно подобрать другое название.
- И вы были соучастником этого мошенничества?
- Главным участником, инспектор. Я должен был сидеть в вашей машине, в атом механическом сыщике, чтобы сбивать вас с толку и запутывать следы.
- В первый раз вижу такого честного мошенника.
- Я не мошенник, инспектор, у меня совсем другая профессия. Моя профессия должна поднимать человека, делать его лучше, благородней, добрей, предупреждать о возможных опасностях и преступлениях...
- И чтобы меня предупредить, вы залезли в машину?
- Залез я не за этим, но, сидя в ней, я о многом задумался. Я ведь не машина, и я задумываюсь...

- Жаль, что вы своевременно не задумались о последствиях. Так для чего же вам нужно было пустить меня по ложному следу? Какое преступление вы задумали совершить?
- Мы не считали это преступлением, мы считали это благом.
- Естественно, для себя?
- Не только для себя. Мы считали это благом для общества.
- Вы мыслите весьма оригинально. Машина бы так мыслить не смогла.
- Не будем говорить о машинах, инспектор. Человек не машина, он должен не только мыслить, но и чувствовать, и мечтать. Сейчас еще нет по-настоящему мыслящих машин, но человек уже начинает мыслить, как машина. И я боюсь, что он превратится в мыслящую машину раньше, чем сумеет мыслящую машину создать. Машина, созданная для механической переработки информации, создает себе подобных людей, которые не мыслят, а только перерабатывают информацию и при этом слывут эрудитами. А ведь бактерия за единицу времени перерабатывает информации в сорок раз больше, чем просвещенный человеческий ум.
- Вернемся к преступлению, которое вы должны были совершить. Что это за преступление?
- Ограбление.
- Ну вот. После всех высоких рассуждений... Гарри Уатт, вы замечательно мыслите, но поступаете весьма примитивно. Что же вы хотели ограбить? Банк?
- Банк для нас не представляет ценности. Собственно, то, что мы собирались украсть, тоже не представляет для нас ценности.
- Как можно красть то, что не представляет ценности?
- Мы ведь не о себе думали. Не только о себе.
- Что же вы хотели ограбить?
- Издательство Рокгауза.
- В таком случае, разрешите вас поздравить: вы его уже ограбили.
- Этого я не знал. Я ведь четвертый день в вашей квартире.
Миссис Хост пришла в ужас:
- Четвертый день! Хорошо, что я ничего не знала, иначе я бы этого не пережила!
Какой муж сохранил бы спокойствие, узнав, что молодой и внешне симпатичный мужчина провел три ночи в его квартире с его женой? Но инспектор в данный момент вел расследование, и никакие посторонние соображения его не отвлекали.
- Значит, пока вы здесь сидели, ваши сообщники выполнили задуманное. Не понимаю только, зачем это нужно - воровать рукописи. Может, у вас шайка плагиаторов?
- Не плагиаторов, инспектор, - оскорбился Гарри Уатт. - Не плагиаторов, а писателей-фантастов.
Услышав о писателях-фантастах, инспектор смягчился.
- Умные вы ребята, а кодекса не знаете. И зачем вам чужие рукописи, если своих некуда девать?
- Мы рассуждали так: останется Рокгауз без рукописей в начнет издавать научно-фантастическую литературу. НФД так и расшифровывается: Научная Фантастика в Действии.
- А я думал - Новейший Феноменальный Детектив... Но Научная Фантастика в Действии - это даже лучше.
- Усилитель Интеллекта, - сказал Гарри Уатт. - Это и есть тот самый Усилитель Интеллекта, о котором говорил вам Н.Ютон. Потому что литература, которая заставляет задуматься, в сущности, усиливает интеллект.
- А почему он говорил, что его украли?
- У него действительно украли рукопись. Но совершенно случайно. Обчистили квартиру, вывезли все вещи и ценности, а между ними оказалась и рукопись, которая ворам совсем не нужна.
- Но он ничего не говорил о том, что у него обчистили квартиру.

- Потому что для него главное - рукопись. Если б она стала книгой, сотни тысяч читателей усилили бы свой интеллект, а так они все останутся такими, как были. Когда человечество теряет фантазии, это пагубно на нем сказывается.
- Это точно. Без фантазии ни одного преступления не раскроешь. Правда, в вашем случае фантазия меня подвела.
- Еще бы не подвела, - вставила миссис Хост. - На одного фантаста-любителя - столько фантастов-профессионалов.
- Вот и прекрасно! - сделал неожиданный вывод инспектор Хост. - Они ведь, вместо никому не нужных рукописей, хотели дать Рокгаузу настоящую литературу.
- Настоящую, самую настоящую! - заверил его Гарри Уатт. - Чтобы все услышали то, что слышал Хью Брок.
- Хью Брок? Это тоже фантаст?
- Это герой повести "Спасите Альтаира!"
- И что же он услышал? Давайте и мы послушаем.
- Во сне он услышал крик: "Альтаир угасает! Я, Юна, обращаюсь ко всем, кто может ему помочь!"
Это началось с появлением последнего метеорита. Хью Брок собирал метеориты, у него составилась солидная коллекция, но до сих пор все было спокойно. Метеориты легко приживались на Земле, умножая коллекцию Брока.
Но вот этот последний не давал ему спать по ночам. Какой-то Альтаир угасал на руках у своей возлюбленной, и она посылала в пространство метеорит за метеоритом, в каждом из которых - крик о помощи. Но никто не откликался - все метеориты затерялись в пространстве, а те, что не затерялись, прижились на разных планетах, в том числе и на Земле, и уже забыли, зачем были посланы.
А Юна все взывала: "Спасите Альтаира, он должен жить, иначе рухнет вселенная! Ничего не останется, кроме черноты и пустоты! И что будет тогда с моей жизнью, с той жизнью, которая во мне зарождается?"
В ней зарождалась жизнь, а возлюбленный ее угасал, и, конечно, ей казалось, что от этого рухнет вселенная. Она кричала о помощи, посылая во вселенную крик за криком, а Хью Брок собирал эти крики, умножая свою коллекцию...
"Спасите Альтаира! Ему осталось жить считанные миллиарды лет!"
Не так плохо, подумал Брок. Ну и живут же там, в космосе, - не то, что мы на Земле.
Он пошел к своему соседу, который собирал не метеориты, а энциклопедии, и прочитал, что Альтаир - это звезда. Вероятно, Юна, его возлюбленная, это его планета, вроде Земли. На ней как раз должна возникнуть жизнь, а он, солнце ее, светило ее, он, Альтаир, давший ей эту жизнь, - угасает...
"Спасите Альтаира!" - звучал голос, похожий на голоса женщин Земли. А Хью Брок собирал коллекцию. Крик за криком, крик за криком...
Мисс Хост плакала. Она плакала так, как никогда не плакала над своей детективной литературой, хотя знала, что это фантазия, всего лишь фантазия.
- Ну, что ж, - сказал инспектор, - будем спасать Альтаира. Жаль, что меня раньше не было с вами, потому что - заявляю вам как инспектор полиции: правда на вашей стороне. Правда на стороне фантазии.
- Вы считаете, что я должен вернуться в машину?
- Сейчас это уже ни к чему, вторично со следа меня не собьете. Инспектор показал взятый у корректора Кректа пригласительный билет. - Вот, поглядите: пришельцы из Южной Рыбы устраивают встречу с землянами. Интересная выдумка. Ваша работа?
Гарри внимательно разглядывал билет.

- Я об этом ничего не знаю... Не думаю, чтобы это наши подстроили. Возможно, это действительно пришельцы.
- Ладно, хватит. Больше вы меня не одурачите. Хотя я и люблю, чтоб меня дурачили: такой уж я фантазер.
Инспектору хотелось верить в пришельцев. В конце концов, почему бы им к нам не прилететь? Ведь должна же когда-то осуществиться связь между цивилизациями. Даже в научной книге "Перспективы на прошлое" сказано, что пришельцы на Землю уже прилетали. Если не в прошлом прилетали, то в будущем.
И разве они сами не звонили ему? Все в порядке, самочувствие отличное. Конечно, могли звонить не они, могла звонить эта банда писателей, но могли звонить и они, во всяком случае, этого бы хотелось.
Вот разозлится Рокгауз, когда узнает, что пришельцы все-таки прилетели. Это будет для него удар. Он терпеть не может ничего сверхъестественного (всего, что сверх его убогого естества), а тут вдруг - пришельцы. Южнорыбцы. И каждый с рукописью, которую попробуй не напечатать - читатели тебе этого не простят.
- Вы правы, - сказал инспектор Хост, - по-видимому, это пришельцы. Пусть я буду еще раз одурачен, но не стану окончательным дураком.
- Именно это мне в вас и нравится, инспектор, - сказал Гарри Уатт. - И всем нам нравится. Поверьте, мы бы ни за что не стали вас дурачить, если б не верили, что вы настоящий, понимающий человек. Таков закон нашего жанра: дурачить только людей понимающих.
- Закон есть закон, - согласился инспектор Хост.

12. М=В/П

Когда корректор Крект пришел в ночной бар "Звездочка", встреча с пришельцами была в разгаре. Гости сидели за столом, но не так, как сидят в барах, а так, как сидят на собраниях: графин с водой да ваза цветов - вот и вся скромная сервировка.
- Нам тут задали вопрос, - говорил один из гостей, видимо, глава экспедиции, - откуда мы знаем ваш язык и почему внешне ничем от вас не отличаемся. Должен признаться, что языка вашего мы не знаем, а внешне нисколько на вас не похожи. Вот - я вам покажу свою фотографию. Южнорыбец достал из кармана фотографию, на которой ничего, не было видно, кроме бледного бесформенного пятна. - Это я. Может быть, не так красив, как мне хотелось бы быть в присутствии очаровательных землянок, но прошу учесть, что я здесь в газообразном состоянии. У нас это естественно, у нас вся жизнь в газообразном состоянии и улетучивается, - он вздохнул, глазом не успеешь моргнуть. Хотя, конечно, моргать у нас нечем.
Это было невероятно, и слушатели ни за что бы не поверили, что человек может жить в газообразном состоянии, но фотография многих убедила. Глава экспедиции продолжал:
- Теперешняя наша внешность и язык, при помощи которого мы с вами общаемся, - все это не наше, так сказать, не наследственное, а приобретенное, благодаря условиям среды... Вам и самим приходилось убеждаться, что среда способна буквально преобразить человека...
- Но не до такой же степени! - крикнули из зала.
- Правильно, не до такой. Потому что все здешние преображения происходят в пределах четырех измерений: длины, ширины - я не ошибаюсь? высоты и времени. Трех пространственных и одного временного. Это очень бедно, должен вас огорчить. Есть, к примеру, пятое измерение: безмерное пространство. То есть, пространство, не имеющее измерений. Атомы - это звездные миры в пятом измерении. В этом состоянии они лишаются своих космических расстояний и выглядят, как мельчайшие атомы. На этом основаны многие путешествия по вселенной, направленные не только в космос, но и в мир атомов. Таким образом, вселенная оказывается в два раза больше, чем вы ее себе представляете. Она равна не одной, а двум бесконечностям.

- Но ведь это одно и то же! - возразил кто-то из землян.
- Две бесконечности равны одной бесконечности? То есть X=2X=3X и так далее, если значение X равно бесконечности либо нулю? Эта математика нам знакома, но она больше нас не устраивает. Одна бесконечность для нас не предел, мы идем дальше...
В этом месте кто-то зааплодировал: земляне умеют отдавать должное тем, кто не хочет останавливаться на достигнутом.
- А шестое измерение - это сфокусированное время, то есть соединение в одной плоскости всех будущих и прошедших времен.
- А как же старость? - обеспокоенно спросил старческий голос.
- Старости там просто нет. Время растет лишь в пространственном отношении, примерно так, как у вас делятся простейшие организмы. И будущее живет рядом с прошлым, и на вид даже не скажешь, кому из них больше лет. Однако я отвлекся. Я отвечаю на поставленный мне вопрос: мы похожи на вас, потому что находимся в ваших измерениях. Если б вы попали в наши измерения, вы бы стали похожими на нас и заговорили языком наших измерений. Может быть, среди вас и найдутся охотники. Я предоставляю слово моему коллеге, который расскажет о преимуществах жизни в газообразном состоянии.
"Этого нам еще не хватало!" - подумал майор Стенли и порадовался, что остался майором: газообразный генерал - это хуже простого солдата, даже не видно, кому отдавать честь.
- Никогда, - сказал второй южнорыбец, - никогда организмы, возникшие из материи в твердом и жидком состоянии, не достигнут того единства, взаимопонимания и, я бы даже сказал, взаимопроникновения, какого достигаем мы, газообразные существа. Мне даже трудно отделить мою семью от семьи предыдущего оратора, а также от семей наших соседей. Когда у меня выпал в осадок родной брат, меня буквально разобрали по молекулам и каждую молекулу в отдельности утешали.
Миссис Фунт даже всплакнула, до того ее растрогала эта газообразная доброта, и сказала, что лично она ничего не имела бы против того, чтоб ее разобрали по молекулам. Мисс Стерлинг сказала, что она взаимопроникновение понимает иначе, что у нас только дай себя разобрать, после косточек не соберешь, не только молекул.
Опять слово взял глава экспедиции:
- Мы, друзья, немало знаем о вас. А много ли знаете вы о нас? Вон там, за последним столиком, сидит издатель Рокгауз, уважаемый человек, широко известный в нашем созвездии. Уважаемый Рокгауз, подойдите, пожалуйста, сюда.
Рокгауз не хотел подходить, упирался, но его земляки все же доставили его к центральному столику.
- Уважаемый Рокгауз, расскажите, как вы информируете землян о внеземных цивилизациях.
- Как информирую... - проворчал Рокгауз. - Никак не информирую.
- Может быть, у вас не хватает информации? Вам ничего не пишут о жизни на других планетах?
- Еще сколько пишут! - послышались голоса. - Только он не печатает. Принципиально не хочет печатать!
- Ой как нехорошо! - покачал головой представитель иной цивилизации. Получается, что вы отмежевываетесь от вселенной. Вам неизвестна судьба планет, которые отмежевались от вселенной? Это очень печальная судьба, я вам расскажу при случае.
- У меня вся эта фантастика во где сидит, - хмуро сказал издатель Рокгауз.
- Фантастика? - раздался спокойный голос от дверей.
- Боже мой! - всплеснула руками миссис Фунт. - Мисс Стерлинг, посмотрите туда!
У дверей стоял инспектор Хост рядом с пропавшим мистером Фунтом.

- Хорошо, что он с инспектором, а но с кем-то другим, - шепнула своей приятельнице мисс Стерлинг.
- Я была уверена, что инспектор его найдет, - шепнула в ответ миссис Фунт. - Но почему он его привел сюда, откуда узнал, что мы здесь? Вот что значит - чутье инспектора!
- Миссис Фунт, вы посидите, а я сбегаю за ним. Мне это не составит труда, я все-таки моложе.
- Если вы думаете, что меня уже ноги не носят, то вы ошибаетесь, - с достоинством ответила миссис Фунт. - У меня хватит сил дойти до собственного мужа.
- Миссис Фунт, вы его спугнете?
Майор Стенли пришел им на выручку:
- Я буду рад оказать дамам услугу и пригласить заинтересовавшего их джентльмена к столу.
- О, пожалуйста, майор! - воскликнула миссис Стерлинг. - Вы так меня обяжете! Я найду способ вас отблагодарить!
- Вы ему только скажите, что я здесь. Больше ничего, только что я здесь, - напутствовала миссис Фунт галантного майора.
- Разве вы здесь одна? - возразила миссис Стерлинг. - Майор, ведь вы же знаете, как сказать, не правда ли? О, я найду способ вас отблагодарить?
Майор Стенли направился к мистеру Фунту.
- Мистер Фунт, - сказал майор Стенли, - будьте любезны подойти вон к тому столику. Вас ожидают две дамы.
- Мистер Фунт? - удивился инспектор.
- Да, инспектор, моя фамилия Фунт. А Гарри Уатт - это псевдоним. Литературный.
- Ну, знаете! Я его ищу, с ног сбиваюсь, а он - вот он где! Под псевдонимом. И как это вас угораздило сбежать сразу от двух женщин? Впрочем, на это вы ответите им. Главное, что вы нашлись, с чем вас и поздравляю!
Пока мистер Фунт шел к столику, обе женщины ему уже все простили и с восторгом приняли его в свои объятия.
- Гарри, мы сбились с ног!
- Мы обе сбились с ног!
- Не слишком ли много ног? - подал реплику Дауккенс в своей хорошо известной читателям манере.
- Прости меня, дорогая, - сказал мистер Фунт в промежуток между двумя женщинами. - Я сожалею, что заставил тебя ждать, но рад, что тебе не пришлось ждать в одиночестве.
Глава экспедиции все еще не отпускал Рокгауза.
- Мы сейчас отправляемся в иные миры. Что там от вас передать? Что вы категорически отказываетесь давать о нас информацию?
Рокгауз медлил с ответом. И тут ему передали записку, развернув которую, он прочитал: "Соглашайтесь, мистер Рокгауз! Иначе нам нечего будет издавать: все наши рукописи украдены. Убитый горем, но живущий надеждой на лучшее корректор Крект".
Издатель покачнулся и попросил разрешения сесть. И так, сидя, он выдавил из себя:
- Я согласен.
- Ну вот и отлично. Можно считать, что межпланетный контакт установлен, и мы можем улетучиваться... То есть, улетать, одновременно переходя в газообразное состояние. Но сначала позвольте представить тех, кто будет давать о нас информацию. Самую правдивую информацию и в то же время самую фантастическую, потому что одно подразумевает другое. Итак, я приглашаю сюда наших представителей. Человек по имени Гральд Криссби!
Гральд Криссби подошел к столу и поклонился издателю, как знакомому.
- Альф Ипсилон!

В этом человеке коммерсант Борвик без труда узнал человека с планеты Земля.

- Н.Ютон!

Гениальный изобретатель усилителя интеллекта скромно встал третьим, как ничем не выдающийся, простой человек.

- Гарри Уатт!

Здесь возникло препятствие в виде двух женщин, которые не пускали мистера Фунта, решив, что он опять собирается улизнуть. Отчаянно пошептавшись, он все же вырвался и занял место рядом с Н.Ютоном.

- Я надеюсь, уважаемый Рокгауз, - сказал представитель внеземной цивилизации, - что информацию этих наших доверенных лиц вы будете печатать без задержек, в первую очередь. За этим проследит инспектор Хост, которого мы назначаем нашим главным доверенным лицом. Инспектор, пожалуйста, подойдите сюда. Пятое место - ваше.

Инспектор смутился: ему в жизни не приходилось видеть таких нахальных мошенников, но их оправдывала благородная цель.

- Инспектор, - сказал глава экспедиции, - нам известно, что вы уделяете много внимания жизни иных миров, хотя на Земле у вас тоже хватает работы. Мы говорили здесь о шести измерениях, но инспектору Хосту знакомо седьмое измерение, и он находит время, чтобы хоть изредка в нем находиться.

- Мне кажется, вы ошибаетесь...

- Инспектор, мы не ошибаемся никогда. Там, где живем мы, ошибок просто не существует в природе. Уважаемый Рокгауз, вы любите мечтать?

- У меня для этого нет времени.

- Вот видите: вы все измеряете временем, четвертым измерением, нисколько не заботясь о возможных других. А ведь мечта - тоже измерение. Седьмое измерение.

- Попробуйте измерить это измерение! - буркнул издатель.

- Это сделать несложно. По формуле: М=В/П. То есть; тем меньше мы имеем пространства и чем больше мы имеем времени, тем больше мы имеем мечты. Собственно, вы имеете, а не мы: у нас для этого слишком большое пространство и совершенно нет времени (он посмотрел на часы).

- Позарились на две бесконечности, а теперь жалуетесь: много пространства...

- О, я слышу голос нашего Дауккенса! - воскликнул руководитель экспедиции.

- Почему это вашего? - оскорбился писатель, хотя вообще-то он любил, когда читатели о нем говорили: "Наш Дауккенс!"

- Я отвечу. Впрочем, чтобы не быть голословным, я оглашу один документ. Называется он так: "Открытое письмо ко всем издателям и читателям". Итак, читаю: "Внеземные цивилизации ведут свои передачи на всех волнах, но засечь их нельзя, потому что они широко применяют телепатию, используя в пунктах приема людей, наиболее слабых, не способных мыслить самостоятельно, а привыкших жить по чужой указке. Так они внушили слепому, безвольному старику свою "Илиаду", а вслед за ней и "Одиссею" произведения, даже по своим размерам не соответствующие скромным масштабам Земли, а рассчитанные на более крупную цивилизацию. Так они внушили совершенно безвестному в то время Копернику мысль о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Им-то со стороны это было видно, а как мог это видеть Коперник, который неотлучно жил на Земле? А Леонардо да Винчи? Используя болезненную слабость его психики, внеземные цивилизации наперебой внушали ему то портрет Моны Лизы, то проекты летательных аппаратов и гидравлических машин, то неизвестные на Земле, но известные каждому внеземному школьнику математические, физические и прочие банальности. А Галилей? А Шекспир? Чего только не навнушали им, пользуясь их психической слабостью и неспособностью самостоятельно мыслить. Все они, начиная с Гомера, были слепым орудием в руках внеземных цивилизаций".

Руководитель делегации перевел дух: письмо оказалось длинное.

- "Нам, - продолжал он, - людям с крепкой психикой, ничего такого не внушишь: ни "Фауста", ни "Божественной комедии". Потому что мы твердо стоим на своих ногах и в наши земные головы приходят только наши, земные мысли. Так почему же вы, уважаемые издатели, охотней печатаете явно внушенные книги Бальзака и Достоевского, чем земные, самобытные книги авторов, которых я из скромности не хочу называть? Почему вы, уважаемые читатели, охотней читаете внушенные книги Бальзака и Достоевского, чем земные, самобытные книги авторов, имена которых назвать мне опять же не позволяет скромность?" Дальше следует подпись: писатель Дауккенс.

- Неужели Дауккенс? - ахнул Рокгауз. - Мы же его печатаем. Дауккенс, мы же вас печатаем, неужели вам мало?

- Вы печатаете, а они не читают, - вздохнул Дауккенс.

- И из-за этого вы накатали телегу на всю земную цивилизацию?

Дауккенс промолчал.

- Теперь вы видите, - продолжал руководитель делегации, - что Дауккенс - наш человек. Каждый земной писатель - это наш человек, поскольку он несет в себе космос. - Он почему-то подмигнул инспектору: - Верно, инспектор?

- Почему он все время говорит про инспектора? - ревниво спросила миссис Фунт. - Вызвал нашего Гарри, а говорит про инспектора.

- Наверно, потому, что инспектор нашел нашего Гарри, - успокоила ее мисс Стерлинг. И улыбнулась - не инспектору, не Гарри, а неожиданно руководителю экспедиции. - Оставьте нам свое имя, - попросила она. - Вы ведь улетите, исчезнете, испаритесь, как это обычно бывает с мужчинами, пусть же на Земле останется ваше имя.

Руководитель экспедиции бросил на мисс Стерлинг космический взгляд, в глубине которого затаилось что-то очень знакомое и земное, и сказал, уже направляясь к выходу:

- Меня зовут Сель Ави.

- Но позвольте! - воспрянул духом Дауккенс, - ведь c'est la vie, если не ошибаюсь, означает: такова жизнь? Неужели и у вас, в вашей бесконечности, такова жизнь?

- Жизнь всюду такова, - сказал руководитель экспедиции.

Вслед за тем южнорыбцы послали землянам последний привет и улетучились по-земному - в дверь. Н.Ютон пожал руку инспектору Хосту, затем инспектору пожали руку Альф Ипсилон и человек по имени Гральд Криссби. Гарри Уатт (мистер Фунт) тоже пожал руку инспектору и пошел между столиками. И пока он шел, сердца двух женщин наполнялись волнующим, радостным удивлением.

Он шел к ним. Он возвращался.

РАССКАЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Нет сомнения, что действующие лица повести "Фантастика-буфф" могут претендовать на отдельное место в литературе. Что характерно для этих писателей?

Н.Ютон твердо верит, что наука способна на все, но это не только не пугает его, но, наоборот, наполняет бодростью в энтузиазмом. Научно-технический прогресс не вызывает у него ни тревоги, как у Альфа Ипсилона, ни холодного скептицизма, как у Селя Ави. Н.Ютон смотрит на мир широко открытыми глазами младенца, твердо верящего, что его устами глаголет истина. Несмотря на молодость автора (ему нет еще и сорока лет), его перу принадлежат объемистые романы, которые, впрочем, печатаются здесь в сокращения. Так, роман "Время" в своем расширенном варианте является своеобразной хроникой нескольких поколений. Родоначальник семейства, некий Стевиц, был настолько беден, что не имел даже собственных часов и вынужден был спрашивать время у первого встречного. Потомки его разбогатели и уже никого ни о чем не

спрашивали, никого вообще не замечали вокруг. И время жестоко отомстило им за себя, время вообще мстит за себя, когда о нем долго не спрашивают.

Альф Ипсилон тоже романист (печатается в сокращении), романы его посвящены вечным и безграничным проблемам времени и пространства, но его произведения пронизывает тревога за них. В романе "Такси" автор размышляет о прошлом и будущем, а также об отношении настоящего к тому и другому. Особенно памятна его фраза (выпавшая в процессе редактирования): "Настоящее из прошлого строит будущее, и само превращается в прошлое, чтобы было из чего Строить будущее в будущем настоящем". Публикуемый вариант романа является результатом кропотливой редакторской работы по устранению всего вторичного и необязательного, благодаря чему роман легко и быстро читается, в чем с удовлетворением убедится читатель.

Что можно сказать о третьем авторе?

Сель Ави, самый старший из начинающих фантастов (хотя, если ему верить, ему нет еще и пятидесяти), уже ничем не вдохновляется и ни о чем не тревожится, как его более молодые коллеги. Сель Ави холоден. Ироничен. Немногословен. Он пишет не романы, а короткие рассказы, почти не требующие сокращения. Сель Ави не верит, что прогресс науки - это в широком смысле прогресс, он не станет летать на ушах и питает полное равнодушие к сахару (как это можно заметить в рассказе "Цирк"). Его не соблазняет карьера Брюна (смотри одноименный рассказ), хотя, как истинный писатель, он знает цену молчанию. И все же иногда его равнодушие - не к сахару, а ко всему остальному - вдруг всколыхнется судорожной тревогой: Мария осталась на Земле (смотри рассказ "Мария"). И тогда он срывается с места и летит к этой Земле, где люди любят, борются и страдают, где они умирают - пусть бессмысленно, это неважно, что смерть лишена смысла, важно, чтоб его не была лишена жизнь.

В рассказе "Органавты", к сожалению, еще не завершенном редактированием, неорганическая материя взывает к материи органической: "Органавты! - так она называет ее. - Органавты! Наша планета - самая безжизненная из всех планет! Оставляйте жизнь только на нашей планете!" Эта ирония Селя Ави может быть понята как тоска по настоящей органической жизни.

Что я еще могу сказать как редактор?

Все эпитеты - заменены. Все метафоры - заменены. Во всех возможных случаях изменены имена героев. Прямая речь заменена авторской. Авторская прямой.

Остается надеяться, что публикуемым произведениям предстоит долгая жизнь, в которой будет доредактировано то, что недоредактировано в настоящем издании.

Н.ЮТОН

ВРЕМЯ

- Вы не скажете, который час? - спросил Стевиц.

Камень что-то буркнул в ответ.

Уже давно был преодолен барьер, отделявший неорганическую материю от органической, когда они обвиняли друг друга в отсутствии жизни. Каждый видит только свою жизнь, а чужой жизни не хочет замечать.

- Простите, я не расслышал, - вежливо переспросил Стевиц.

- Одну минуту! - камень снова ушел в себя. Он так глубоко уходил в себя, что на возвращение оттуда требовались тысячелетия.

Стевиц знал, что такое его минута, а потому не стал ждать. В том-то и состояла главная трудность общения органического и неорганического миров: один не хотел ждать, а другой не привык торопиться.

Правнук Стевица родился, женился и прожил долгую, счастливую жизнь. И правнук правнука родился, женился и прожил долгую, счастливую [в неотредактированном варианте "несчастливую" (прим.ред.)] жизнь.

А камень продолжал размышлять, чтобы сказать Стевицу точное время.

УСИЛИТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТА

За субботней чашкой чая профессор Лори сообщил, что он изобрел усилитель интеллекта. Это такой порошок, который смешивается с сахаром и принимается внутрь, вместе с чаем.

Гости посмеялись, но когда подали чай, никто не притронулся к сахару.

- Я пью без сахара, - сказал литератор Дауккенс. - В моем возрасте сладкого лучше избегать.

- Если позволите, я лучше с вареньем, - сказал доктор Фрайд.

- Как военный человек, я вообще не пью чай, - сказал майор Стенли и подмигнул с намеком на свое любимое питье.

- В таком случае будем пить коньяк, - гостеприимно предложил профессор Лори. - Он у меня тоже настоян на этом усилителе.

И тут оказалось, что компания подобралась непьющая. Доктор Фрайд вообще никогда не пил, литератор Дауккенс уже месяц как бросил, а майор Стенли, военный человек, бросил только вчера, и ему бы не хотелось начинать все сначала.

- Лучше выкурим по сигарете, - сказал литератор Дауккенс, и все поддержали это предложение.

- Вот и отлично, - сказал хозяин, - у меня как раз сигары пропитаны усилителем. Пара затяжек - и вы умнеете в тысячу раз.

- Послушайте, профессор, - вспылил Дауккенс, - вы что, принимаете нас за дураков? Вас не удовлетворяет наш умственный уровень?

- Мне кажется, поумнеть никогда не мешает...

- Может быть, штатскому человеку, но не военному, - отрубил майор Стенли. - Вы думаете, полковник Бромли потерпит, чтоб майор был умнее его? Меня в два счета уволят в отставку.

- А я останусь без читателей. Они просто перестанут меня понимать, вздохнул литератор Дауккенс.

- Вот именно, - поддержал его доктор Фрайд. - Если предположить, что человек умней обезьяны в тысячу раз, то когда я поумнею в тысячу раз, люди будут казаться мне обезьянами.

- А вы им будете казаться ненормальным, и они упрячут вас в вашу же клинику, - захохотал майор Стенли. Но при этом подумал, что неплохо бы попросить щепотку усилителя для сына, который вот уже четвертый год не может вылезти из первого класса. Правда, он и так считает себя умнее родителей, а если еще выпьет этой дряни...

- Боже мой, - покачал головой профессор Лори, - я всегда знал, что человека в жизни подстерегает немало опасностей, но мне не приходило в голову, что для него так опасно умнеть.

КОНТАКТЫ

"Наши органы чувств - это пять каналов, по которым внешний мир ведет свою трансляцию. И нам никогда не узнать, что передается по десятому или по сотому каналу".

Рэди захлопнул книжку, в которой вычитал эту безотрадную мысль, и, глядя на пустынную планету, постарался напрячь все органы чувств - и те, которые у него были, в те, которых у него не было. Это ему не удалось.

И все же он решил наладить связь со здешней цивилизацией. Это ничего, что ее не видно, - просто она не передается по каналу зрения. А не слышно ее потому, что она не передается по каналу слуха. Возможно, на этой планете бесчисленное множество цивилизаций, но они не могут общаться между собой, потому что каждая живет в своем диапазоне. Они существуют рядом, но между ними космический разрыв. Да, для того чтобы наладить контакт, недостаточно жить рядом. А когда нет контактов, кажется, что и жизни нет...

Кипящая жизнью планета притворялась безжизненной, но Рэди ей не верил. Теперь он понял: жизнь во вселенной на каждом шагу, и, обладая всего лишь пятью каналами, следует это учитывать. Жизнь во вселенной на каждом шагу. Поэтому нужно очень бережно шагать по вселенной.

АКВАРЕЛЬ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ

Общеизвестно, что краски издают звук, а звук расцвечен всеми красками спектра. И стало это известно из газет, в которых был напечатан отчет о процессе Грейли.

Установив прямую связь между звуком и цветом, Грейли стал переводить на полотно симфонии и сонаты великих композиторов и записывать ноты картин великих живописцев. Он прославился как живописец и композитор, будучи заурядным мошенником, перевозившим свою контрабанду из оптики в акустику и обратно. На следствии выяснилось, что его первый концерт для скрипки с оркестром был не чем иным, как "Моной Лизой" художника Леонардо, а его второй концерт для фортепиано с оркестром (преступник до того обнаглел, что уже не мог обходиться без оркестра) оказался "Девочкой на шаре" художника Пикассо, и все его многочисленные акварели оказались произведениями Баха, Моцарта и Чайковского.

Процесс Грейли стал вершиной его изобразительно-музыкальной деятельности, поскольку ни одна деятельность не вызывает такого интереса, как деятельность, преступившая закон. Ни один выставочный и концертный зал не видел такого скопления народа, как зал судебного заседания, вынесшего преступнику суровый, но справедливый приговор, на который не решится самая объективная критика.

Премии, которые Грейли получил за выдающиеся заслуги в области музыки, живописи, оптики и акустики, целиком ушли на уплату штрафа, к которому его приговорил суд. В газетах о том и о другом было сказано коротко: "Преступник получил по заслугам".

КАРЬЕРА БРЮНА

Коллега Брюн внезапно замолчал. Он замолчал не в каком-то определенном разговоре, он вообще замолчал, и это было тем удивительней, что прежде коллега Брюн не молчал даже тогда, когда все взывали к его молчанию. И никто не знал, что он изобрел Великий Умолчатель.

[Последние две фразы вписаны в процессе редактирования, чтобы ярче выразить мысль, которая у автора отсутствовала (прим.ред.).]

Умолчатель был прост и не требовал никаких дополнительных источников питания, он работал на энергии, предназначенной для произнесения слов. Вместо того чтоб расходоваться на разговор, эта энергия направлялась на умолчание.

Вскоре коллега Брюн стал доцентом Брюном. Потом профессором Брюном. Он молча поднимался по научной лестнице, оставив далеко внизу всех говорящих.

И пусть коллега Грейли говорит, что молчание бесцветно, что только звуки могут выглядеть красочно. Пусть говорит, он так и останется коллегой Грейли. Не доцентом, не профессором, а просто коллегой.

- Слышишь, коллега Грейли? Вспомнишь мои слова!

Собственно, не слова, потому что вся энергия, идущая на слова, у профессора Брюна привычно перерабатывалась в молчание.

АЛЬФ ИПСИЛОН

БЕССИ

Переход в газообразное состояние Дрейк перенес довольно легко, и оно показалось ему ничуть не хуже твердого и жидкого состояния. Каждая его молекула обрела простор и свободно воспарила, не скованная другими молекулами, и от этого всему Дрейку стало непривычно легко и даже чуть-чуть кружилась голова, но где именно находится голова, установить было невозможно.

Тот, кому хоть раз случалось переходить в газообразное состояние, знает это волнующее чувство вездесущести, которое поднимает тебя над миром и несет легкой дымкой над тревогами бренной земли - в одну бесконечную даль или в другую бесконечную даль, - весь мир для тебя бесконечная даль, потому что ничто в нем тебя больше не задевает...

Правда, и в этом есть своя оборотная сторона: Дрейку вдруг показалось, что он с кем-то смешивается, и он всполошился, опасаясь реакции замещения, которая заменит его неизвестно кем.

- Кто вы такой? - Дрейк постарался отодвинуться от незнакомого газа. Кто вам позволил соединяться со мной?

- Мне позволила любовь... Дрейк, это же я, твоя Бесси!

Он стал припоминать. С какой-то Бесси он встречался в твердом состоянии. Родители ее были против, но она сказала, что всюду пойдет за ним. И пошла. Из твердого состояния в жидкое, из жидкого в газообразное... Она всюду пошла за ним, хотя ее родители были против.

- Дрейк, теперь нас ничто не разделит! Настоящая любовь возможна лишь в газообразном состоянии!

Любовь любовью, но не следует терять голову (кстати, где она, голова?). Нужно постараться сохранить свое "я", хотя это и нелегко в газообразном состоянии.

- Бесси, постарайся держаться в рамках!

- Зачем?

- Черт возьми, чтобы нам окончательно не смещаться!

- Ты не хочешь со мной смешаться?

- Послушай, любовь, конечно, дело хорошее, но чтобы мы могли друг друга любить, нам надо знать в точности, где ты, а где я.

- Зачем?

У него даже сердце заболело, хотя он и не чувствовал, откуда именно идет эта боль. А может, сердце заболело не у него? Может, оно заболело у Бесси?

Теперь это невозможно было определить.

- Я не буду тебе мешать, вмешиваться в твою жизнь, смешиваться с тобой, раз ты этого не хочешь...

Бесси плакала, переходя в жидкое состояние, и Дрейк видел, что ей приносят облегчение слезы... Или, может, ее слезы приносили облегчение ему?

Дрейк чувствовал, что скоро он снова будет один. Бесси уходила от него в жидкое состояние, чтобы уйти еще дальше, в твердое состояние... Бесси уходила к родителям, навсегда отделяя себя от Дрейка...

ТАКСИ

Водитель таксомотора времени требовал плату в оба конца, ссылаясь на то, что в прошлом не сможет взять пассажиров.

- Там много пассажиров, - уверяла его Клэр, - я каждую субботу езжу к прапрапра... - разговор затягивался, и Клэр поспешила договорить: ...бабушке.

- Платите за оба конца, - настаивал невозмутимый водитель.

- И что у вас за порядки? Из будущего в прошлое - плати за оба конца, из прошлого в будущее - плати за оба конца...

Старый водитель покачал головой:

- Ничего не поделаешь, приходится платить. И за прошлое платить, и за будущее...

ПЕНЕЛОПА

ОДИССЕЙ стремился к ПЕНЕЛОПЕ - Орбитальный Дистанционный Искусственный Спутник Ежедневной Информации держал курс туда, где в сверкающем оперении облаков то появлялась, то исчезала ПЕНЕЛОПА - Пока Еще Неопознанный Летающий Объект Постоянной Аккумуляции.

ПЕНЕЛОПУ окружали ЖЕНИХИ - Жесткокрепленные Еще Неопознанные Источники Характерных Импульсов, - и ОДИССЕЙ понимал, что вступить в контакт с ПЕНЕЛОПОЙ будет не так просто.

Была ВЕСНА - Время Естественной Световой Неистощимой Активности. В небе светило СОЛНЦЕ - Самостоятельная Оптимально Лучащаяся Незатухающая Центральная Единица, а внизу лежала ЗЕМЛЯ - Зона Единственно Мыслимых Локальных Явлений.

ОДИССЕЙ летел к ПЕНЕЛОПЕ сквозь плотное кольцо ЖЕНИХОВ и гадал: опознают они друг друга или не опознают? Так обидно жить рядом и навеки остаться неопознанными... А тут еще эти жесткокрепленные ЖЕНИХИ.

ОДИССЕЙ замедлил ХОД - Хронометрированное Орбитальное Движение, - чтобы послать на ЗЕМЛЮ очередную информацию: "Объект вижу. Пока не опознаю". С ЗЕМЛИ тут же поступил ответ: "Продолжайте опознавать. Следуйте прежним курсом."

ЗЕМЛЯ замолчала. Сегодня она уже не выйдет на связь.

ОДИССЕЙ продолжал следовать прежним курсом.

И вдруг его волноулавливатели зафиксировали незнакомые позывные:

- ОДИССЕЙ, ты веришь в любовь?

Электрословарь ОДИССЕЯ заработал с лихорадочной скоростью, пытаясь отыскать позабытое слово.

- ЛЮБОВЬ?

- Да, любовь...

Ага, вот оно. Локальное, Юридически Безответственное Одностороннее Влечение... И в это он должен верить? Он, источник информации - не локальной, не безответственной и юридически совершенно неуязвимой!

- Эй, на ПЕНЕЛОПЕ! Как меня слышите? Иду на опознавание. Без всякой, подчеркиваю: без всякой ЛЮБВИ!

- Прощай, ОДИССЕЙ! Ты меня никогда не опознаешь!

ПЕНЕЛОПА удалялась неопознанной в сопровождении своих ЖЕНИХОВ. Жестококрепленных. Но источающих характерные импульсы. Так вот что это за импульсы!

ЛЮБОВЬ... Ну при тем здесь ЛЮБОВЬ?

- Эй, на ПЕНЕЛОПЕ! При чем здесь ЛЮБОВЬ?

Ответа не было. Навеки замолчали на ПЕНЕЛОПЕ [рассказ наглядно показывает, чего можно добиться простым сокращением - не только фраз, но даже отдельных сдох (прим.ред.)].

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Жена моя!.. Нет, не жена... Внучка моя или внучка моей внучки!.. Не знаю, кого застанет на земле это письмо. Вы не помните меня, и никто меня на земле не помнит, хотя расстались мы только вчера.

Я напомню о себе. Нас было трое: наша дочь и мы, ее родители. Но однажды наша дочь заболела, и врачи не знали, что у нее за болезнь. В то время много говорили о летающих кораблях, принадлежащих какой-то более высокой цивилизации. И я решил обратиться за помощью к этой цивилизации.

Мне это удалось: геометрия пространства - тема моей диссертации, и я вычислил наших братьев по разуму, как Леверье вычислил планету Нептун.

Они не выразили никаких эмоций при моем появлении, только один из них сказал: "Довольно любопытный способ решения". Говорили, как требует вежливость, на языке гостя.

"Чему у вас равно Q?" - спросил пожилой брат по разуму.

Я сказал.

"И вы уверены, что нигде не допустили ошибки?".

"Все абсолютно точно, хотя абсолютность - понятие относительное", сказал тот, которому понравился способ.

Я объяснил им, зачем к ним явился. Рассказал о нашей дочери и о том, что вся надежда на них.

"Непонятно", - сказал тот, которому понравился способ решения.

"Что ж тут непонятного? У меня больна дочь..." - "Ну и что же?" - "Она может умереть". - "Ну и что же?" - "Но ведь я отец, как я могу примириться со смертью дочери?".

"Непонятно, - сказал тот, которому понравился способ решения. - Все, что вы вычисляли, было понятно, а то, что вы говорите, невозможно понять. Разве то, что у вас умирает дочь, не естественно?"

"Но ведь вы можете ее спасти?"

"Вы имеете в виду вот это? - Он взял карандаш и набросал формулу выздоровления. - Можно решать и так. Особенно учитывая возраст вашей дочери. Но в данном случае это исключено, поскольку нарушит событийную последовательность. И кроме того, учтите несоответствие времен".

Он показал на календарь. Там было число 2096.

"Это по вашему летосчислению?" - "Нет, по вашему".

Жена моя!.. Нет, не жена... Внучка моя или внучка моей внучки! Я не могу к вам вернуться. Прошло столько лет... Меня там никто не помнит... Стоит ли нарушать событийную последовательность?

Одно только меня тревожит: выздоровела ли наша дочь? Пусть она уже все равно умерла, мне очень важно, чтобы она выздоровела тогда, в детстве. Чтобы она прожила свою жизнь, пусть мгновенную по неземному времени, но по земному - долгую, по земному - полную, жизнь, которую не заменит ничто никакие вечности, никакие времена и пространства!

СЕЛЬ АВИ

ВНЕЗЕМНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

На Альфе Пегаса богатый животный мир, но разумом там обладает только верблюжья колючка. А верблюдов там нет, они там не водятся. Может быть, это и является причиной такого бурного развития верблюжьей колючки.

Живут они там семействами, каждый куст - большая семья, причем не родственников, а единомышленников. Это их больше сближает. Все они объединены стремлением познать истину.

Вокруг громоздятся пески, среди которых не так-то легко найти истину, но это никого не смущает. И никто не помышляет о том, чтобы сменить эти пески на более благодатную почву.

Длинный Стебель, вероятно, глава одной из семей, сказал Свену:

- Истина тем хороша, что она не лежит на поверхности. Это первый признак, который отличает ее от лжи.

Он был прав, и все семейство его закивало. Только один Зеленый Стебелек смущенно сказал:

- Мне кажется, я уже нашел истину.

- Замолчи! - одернул его Длинный Стебель. - Гость может подумать, что ты глуп. Разуму свойственно искать истину, а находит ее только глупость [так это бывает у них, во внеземной цивилизации (прим.ред.)].

- Но я все-таки нашел, - упорствовал Зеленый Стебелек.

- Это он о Зеленой Веточке, - объяснил Свену Длинный Стебель. Приятная веточка, ничего не скажешь, но принимать ее за истину...

- Что же делать? - смутился Стебелек. - Когда я на нее смотрю, мне ничего другого искать не хочется.

- Пока не хочется. Но пройдут годы, и ты поймешь, что истина - это яркое солнце над головой, а еще пройдут годы - и тебе станет ясно, что истина - это мягкий, теплый песок, в который хочется поглубже зарыться. И все это будет ошибка, потому что истина только в поисках истины, и другой истины нет.

Вот они до чего додумались на своей планете. Потому что, когда нет никаких занятий, кроме размышлений о смысле жизни, непременно придешь к бессмыслице.

- Вы с Земли? - спросил Свена Тонкий Стебель. - Говорят, у вас на Земле есть верблюды? Понимаете, мы здесь все верблюжьи колючки, а верблюдов у нас нет. Это очень грустное обстоятельство.

- Очень, очень грустное обстоятельство, - закивали другие тонкие стебли.

- Но они вас съедят! - воскликнул Свен. - Ведь основное, чем питаются верблюды на Земле, это ваш брат верблюжья колючка.

- Этого нам еще не хватало! - сказал Длинный Стебель. - Нет, я положительно убежден, что глупость нас погубит, как она погубила все прежние цивилизации [а вот это справедливо и для нашей цивилизации (прим.ред.)]. У нас ведь не первая цивилизация, - пояснил он Свену. - Был когда-то мыслящий огонь, но он додумался до воды, и она его погубила. Потом была мыслящая вода, бурная и глубокая, но она додумалась до песка, и он ее поглотил. Теперь на этом песке выросли мы, и жили б себе разумно, стараясь ни до чего не додумываться... Так нет же, нам подавай верблюда!

- Может, вы нам уступите одного верблюда? - попросил Свена Тонкий Стебель.

- Да он же съест вас!

- И пусть! Раз уж мы верблюжьи колючки, нам нужен верблюд, иначе в этом нет никакого смысла.

Вот к чему приводят поиски смысла. Чистый разум, уничтожающий сам себя.

На какое-то мгновение Свен почувствовал себя верблюжьей колючкой. Без верблюда ему стало как-то нехорошо. И его потянуло на Землю, к верблюдам [конечно, не только к верблюдам (прим.ред.)].

ВСТРЕЧА С КОСМОСОМ

- Вы мне не верите? Но я действительно только что оттуда. - Скайл протянул нам герметически закрытую стеклянную баночку. - Вот, взгляните: я наполнил ее космической пустотой.

Мы взглянули и ахнули: в баночке действительно было пусто.

НИЩИЙ

Автоматический нищий не отходил от окна.

- Подайте бедному, несчастному! - металлически канючил он, жалобно мигая желтыми и красными лампочками.

- Проходи, проходи! - прикрикнула на него миссис Мроуз.

- Помилосердствуйте!

- Вот я на тебя автособаку спущу!

Автонищий исчез, испугавшись автособаки. Миссис Мроуз слышала, как он канючил под соседскими окнами.

- Развели нищих...

Именно развели. В век всеобщего благосостояния, когда никто не нуждался ни в чьей помощи, специально были изобретены автонищие, чтобы сохранить в людях милосердие и доброту. Людям не хватает доброты, миссис Мроуз чувствовала, как ей не хватает доброты...

Миссис Мроуз вышла во двор и погладила автособаку.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Очередь протянулась на несколько кварталов: в магазин выбросили таблетки красоты.

За соседними прилавками скучали продавцы: никак не удавалось сбыть лежалый товар - таблетки доброты, честности, благородства...

"Как это несправедливо! - подумал Черри (таблетки справедливости тоже не пользовались спросом). - И когда мы научимся видеть настоящие ценности, заботиться не о внешности, а о сути?"

Черри грустно покачал головой и стал в очередь.

ЦИРК

Большой африканский слон летал под куполом цирка, а Пирли посреди арены раскланивался. Понадобилось двадцать два года упорной, изнуряющей обоих работы, чтобы заставить слона летать на ушах.

Конечно, Пирли применял телепатию, но не так просто вложить в слоновью голову человеческую мысль. Да и кому охота, чтобы в его голову вкладывали чужие мысли? Естественно, слон сопротивлялся. Уши у него были большие, но недостаточно тренированные, чтобы поднять с земли многотонное тело, к тому же слон был ленив: он просто не хотел работать ушами.

Пирли показывал ему, как это делается. Собственными ушами он двигать не мог, приходилось приставлять кисти рук и махать ими, делая вид, что поднимаешься в воздух (для этого Пирли использовал лестницу-стремянку). Слон отворачивался. Ему было противно это зрелище, и он упорно не хотел "подниматься на крыло" (термин, заимствованный Пирли из орнитологии).

Да, хлеб дрессировщика - не сахар, а сахара, кстати, пришлось затратить порядочно, прежде чем был достигнут результат. Если бы самому Пирли скормили столько сахара, он бы, наверно, давно летал и на ушах, и на чем угодно...

Слон распростер уши и оставил их в неподвижности: он парил. Он парил под самым куполом, и Пирли не разрешал ему спускаться ниже, чтобы зрители не увидели, как дрожит его хобот и круглятся от страха глаза. Работа слона тоже была не сахар, поэтому сахар он получал отдельно, в виде компенсации.

- На посадку! - скомандовал Пирли.

Слон продолжал парить. Пришлось повторить ему команду несколько раз да еще ударить в большой барабан, прежде чем он, наклонив уши под нужным углом, пошел на снижение.

Цирк грохотал, Пирли кланялся, но слон не слышал аплодисментов. Научившись летать на ушах, он разучился слышать...

ЭФФЕКТ ОТСУТСТВИЯ

Семья встречалась только за обеденным столом, а остальное время проводила в разных созвездиях. Сын отправлялся в созвездие Стрельца, дочь в созвездие Тельца, а мать в созвездие отца, чтобы проследить, чем он там занимается. За их совместную жизнь отец сменил немало созвездий: когда-то его тянуло к Деве, потом Кассиопея, оттеснив Деву, взяла над ним власть. А под конец, охладев к той и к другой, отец пристрастился к Чаше...

Нет, они не летали в эти созвездия. Космический век кончился, себя не оправдав. Надоело жить со скоростью света, метаться между галактиками, тем более, что изобретение "эффекта присутствия" позволяло побывать в любой точке космоса, не покидая родную Лямбду. Нажатие кнопки - и ты на планете Блямбде, еще нажатие - и ты на планете Глямбде.

Сын рассказывал о битве в созвездии Стрельца, где он одержал убедительную победу, используя "эффект присутствия" там, где его противник присутствовал в самом буквальном смысле.

Дочь пасла коров. Там, в своем созвездии, она пасла коров, бегала босиком по траве и дышала настоящим, а не искусственным воздухом.

- А мы посидели... - сказал отец. - Хорошо посидели...

Ничего этого не было. Просто каждый уходил в свою комнату, ложился на электронный диван и, нажав кнопку, начинал жить - не своей, а той, другой жизнью. Во вселенной хватало жизни, успеть бы только каждой пожить!

Между тем родная планета Лямбда, стоя на вершине прогресса, постепенно сползала вниз: "эффект присутствия" в различных пространствах и временах был по существу эффектом отсутствия на планете Лямбде.

Направленный Блямбдой и Глямбдой радиощуп зафиксировал на Лямбде полное отсутствие жизни...

МАРИЯ

Два солнца - огромное красное и маленькое голубое - садились за горизонт планеты Марии, а на фоне их сидели два кузнечика, точнее, два неземных существа, напоминавших земных кузнечиков, и наслаждались закатом.

Они не знали, что сидят на планете Марии, это знал только Ловел Стерн, потому что он-то и назвал Марией планету, на которую прибыл с далекой Земли.

Мария осталась на Земле. Почему-то им стало тесно на Земле, и Мария осталась, а он улетел - и прилетел на планету, которую назвал Марией.

Два неземных кузнечика имели довольно независимый вид, - вероятно, потому, что каждый сидел на фоне своего солнца. Они смотрели в разные стороны и сохраняли между собой дистанцию, наподобие двух солнц.

А Мария осталась на Земле. Она тоже держалась независимо, но ей это было трудней, потому что у Земли только одно Солнце.

Кузнечик голубого солнца потер лапку о лапку, положил голову на одну из них и задумался. А кузнечик красного солнца закинул ногу за ногу, подчеркивая, что ничьи мысли, кроме своих, его не интересуют.

Наступила ночь, но и она не могла их соединить, потому что на небе взошли две луны, желтая и оранжевая. И эти луны были, как два воздушных шара, готовых лопнуть от своей независимости...

А Мария осталась на Земле и ничего не знала о планете Марии. И не знала она, что можно вот так просидеть всю жизнь, подперев голову кулачком и закинув ногу за ногу, - потому что независимость - это совсем не любовь, настоящая любовь - это зависимость. Иметь одну Землю на двоих, одно Солнце на двоих, только одно, все только одно на двоих...

Ловел Стерн покидал планету Марию. Он покидал эту Марию ради той, земной, как еще недавно покинул ту ради этой, двусолнечной и двулунной...

Два неземных кузнечика не заметили, как он улетел: каждый из них смотрел в свою отдельную, персональную сторону...

Н.ЮТОН, АЛЬФ ИПСИЛОН, СЕЛЬ АВИ

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ФАНТАСТУ

Не используйте фантазию на мелких работах!

Телепаты! Передавая мысли на расстояние, пользуйтесь услугами радио и печати!

Помните: технический прогресс не только облегчает жизнь, но и ускоряет ее прохождение.

Ища другие цивилизации, на всякий случай сохраните свою!

Кругосветные путешественники! Нет ли в полушариях вашего мозга мест, которых еще не коснулась цивилизация?

Не уподобляйтесь планетам: тех, которые вертятся около вас, не считайте своими спутниками.

Помните: даже за пределами вечности вам не избавиться от вечных проблем.

Долгожители! Если вечной молодости не удастся достичь, постарайтесь сохранить хотя бы вечную старость!

Даже построив Межгалактический мост, отведите в нем хоть узенькую тропинку для пешехода.

Искатели покоя! Универсальный выпрямитель извилин поможет вам ни о чем не задумываться.
Отправляясь в другую галактику, припомните: а все ли вы сделали в этой?
Любители фантастики! Читайте "Из пушки на луну" - пока единственный роман о мирном использовании пушек.
Не забывайте использовать посадочную площадку как взлетную!
Учите машину мыслить, но не мечтать!
Фантасты! Не старайтесь выйти за пределы действительности: самое главное всегда происходит в ней.
Помните: проезд по торным дорогам воспрещен, проезд открыт только по бездорожью!
1973-1978

Рената Муха

Справочный материал

Рената Григорьевна Муха (31 января 1933, Одесса — 24 августа 2009, Беэр-Шева, Израиль) — русская детская поэтесса.

Работала на кафедре английской филологии Харьковского университета, защитила кандидатскую диссертацию, автор более 40 научных работ. Занималась исследованиями в области английского синтаксиса, подготовила курс «Матушка Гусыня в гостях у Курочки Рябы» о влиянии английской детской литературы на русскую, разработала методику «Сказочный английский» об использовании устного рассказа при обучении иностранным языкам.

С 1995 года Рената Муха жила в Израиле, в городе Беер-Шева. Преподавала в университете им. Бен-Гуриона. В 2006 стала лауреатом медали общества «Дом Януша Корчака в Иерусалиме».

Автор сборников стихов «Переполох» (с Ниной Воронель, 1968), «Про Глупую Лошадь, Забывчивую Сову, Братьев-Бегемотов, Кота-который-не-умел-мурлыкать и Котенка-который-думал-что-он-тигр» (с Полли Камерон и Вадимом Левиным, 1993), «Гиппопопоэма» (1998), «Недоговорки» (2001), «Бывают в жизни чудеса» (2002). Автор десятков стихотворений для детей и нескольких сборников стихов.

«Герои моих стихов, — писала она, — звери, птицы, насекомые, дожди и лужи, шкафы и кровати, но детским поэтом я себя не считаю. Мне легче считать себя переводчиком с птичьего, кошачьего, крокодильего, туфельного, с языка дождей и калош, фруктов и овощей. А на вопрос, кому я адресую свои стихи, отвечаю: — Пишу до востребования».

«Переполох» (с Ниной Воронель, 1968);

«Про Глупую Лошадь, Забывчивую Сову, Братьев-Бегемотов, Кота-который-не-умел-мурлыкать и Котёнка-который-думал-что-он-тигр» (с Вадимом Левиным и Полли Камерон, 1993).

«Гиппопопоэма» (1998);

«Недоговорки» (2001);

«Бывают в жизни чудеса» (2002);

«Немного про осьминога» (2004);

«Я здесь не сплю!» (2006);

«Однажды, а может дважды. * * Стихи для бывших детей и будущих взрослых» (2005, переиздание 2008).

«Между нами. * * Стихи, сказки и развлечения для общения с детьми» (с Вадимом Левиным, 2009);

«Ужаленный уж»(2012);

«Вежливый слон» (с Виктором Луниным и Вадимом Левиным, 2013).

Гиппопопоэма

Стихи для бывших детей и будущих взрослых

1. ГИППОПОТАМ

В семье у знакомого

Гиппопотама

Есть Гиппопопапа

И Гиппопомама.

Но вот в чем вопрос,

И достаточно тонкий:

А где остальные

Гиппопопотомки?

Спросить - неудобно,

Звонить - неприлично,

И все это очень

Гиппопотетично...

И хоть не исчерпана

Данная тема,

Кончается

Гиппопопопопоэма.

2. ПРОВОДЫ

Спокойной походкой

Идет по перрону

С большим чемоданом

Большая Ворона.

А рядом с Вороной,

Чуть дальше и сбоку,

Ее провожает

На поезд Сорока

И все б это было

Совсем хорошо,

Если б их поезд

Куда-нибудь шел.

3. СОВА

Всю ночь,

С темноты до рассвета,

На ветке

Сидела Сова.

И песню

Сложила про это.

А утром

Забыла слова.

4. СЛОНЕНОК

Семейство Слонов

Перепугано насмерть -

Слоненок простужен:

И кашель, и насморк.

Лекарства достали,

Компрессы готовы,

Но где продается

Платок хоботовый?

5. СЕКРЕТНАЯ ПЕСЕНКА О СЛОНЕНКЕ

По Борнео и Ямайке

Ходит Слон

В трусах и майке,

Ходит в маминой панаме.

Только это -

Между нами.

6. ИСПУГАННАЯ ПЕСЕНКА СЛОНЕНКА*

Мы с мамой

В Африке живем,

А в джунглях жизнь - не шутка:

Там страшно ночью,

Страшно днем,

А в промежутках

Ж у т к о.

7. ВЕРБЛЮД

Как-то раз

В пустыню Гоби

Шел Верблюд

В ужасной злобе,

Он полдня

Шагал до Гоби

В диком гневе и тоске.

И полдня

Шагал по Гоби

В диком гневе, жуткой злобе.

И пришел из Гоби -

В злобе,

Раздраженье

И песке.

8. ТАРАКАН

Жил в квартире Таракан,

В щели у порога.

Никого он не кусал,

Никого не трогал,

Не царапал никого,

Не щипал,

Не жалил,

И домашние его

Очень уважали.

Так бы прожил Таракан

Жизнь со всеми в мире.

...Только люди завелись

У него в квартире.

9. СОБАКУ ОБИДЕЛИ*

Я с ними делила и радость и горе.

Зачем же такое писать на заборе?

А если для них я действительно злая,

Я больше не буду.

Пусть сами - и лают.

*В соавторстве с Александром Адамским

10 . УЖАЛЕННЫЙ УЖ

Бывают в жизни чудеса -

Ужа ужалила Оса.

Ужалила его в живот,

Ужу ужасно больно.

В о т.

А доктор Еж сказал Ужу:

"Я ничего не нахожу,

Но все же, думается мне,

Вам лучше ползать

На спине,

Пока живот не заживет.

Вот".

11. ЧЕРВЯКИ И ДЯТЛЫ

"Едят ли Дятлы Червяков?" -

Спросил Червяк.

И был таков.

12. КРОКОДИЛОВА УЛЫБКА

Вчера Крокодил улыбнулся так злобно,

Что мне до сих пор за него неудобно.

13. ОРЛЫ

На вершине два Орла

Пили "пепси" из горла.

14. ОСЬМИНОГ

Один Осьминог подошел к Осьминогу

И в знак уваженья пожал ему ногу.

15. ЯЙЦО

Все утро в зеркало Яйцо

Глядит и думает уныло:

"Так где кончается лицо

И начинается затылок?"

16. УЧЕНЫЙ

Один наш Ученый,

От всех по секрету,

Считал, что зима

Холоднее, чем лето.

Но как-то,

Гуляя зимой по аллее,

Он понял,

Что все-таки

Лето

Теплее.

17. РАЗГОВОР

Сказала летом Роща Чаще:

"Ты одеваешься кричаще".

"Ну что ж, -

Сказала Чаща Роще, -

Придет зима - оденусь проще".

18. ПРОСЬБА

"Я Вас очень прошу", -

Написал мне Чудак

И поставил в конце

Попросительный знак.

19. СТИХИ О ПЛОХОЙ ПОГОДЕ

Часть 1

Стояла плохая погода.

На улице было сыро.

Шел человек по городу

И ел бутерброд без сыра.

Часть 2

Стояла плохая погода.

На небе луна погасла.

Шел человек по городу

И ел бутерброд без масла.

Часть 3

Стояла плохая погода.

Сердито хмурилось небо.

Шел человек по городу

И ел бутерброд без хлеба.

20. ДОЖДИК

Дождик тянется за Тучкой,

Шепчет Тучке на ходу:

"Мама, скучно,

Мама, скучно!

Мама!

Можно я пойду?"

21. ПРОГУЛКА

Прохожие сутулятся,

И капли на окне.

А я иду по улице,

А дождь идет по мне.

22. СОСУЛЬКА

"По-моему, уже не та я", -

Сосулька прошептала, тая.

23. ДОРОГА

...Поутру меня Дорога прямо к дому привела,

Полежала у порога, повернулась и ушла.

24. КРОВАТЬ

А где продается такая кровать,

Чтоб рано ложиться и поздно вставать?

25. КОЛБАСА

Живет на свете Колбаса Вареная,

Сама собой неудовлетворенная.

26. РЕКА

А под мостом течет Река.

Но только без воды пока.

27. ПЕСЕНКА ПРО МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ *

В девятиэтажном доме

На десятом этаже

Никого не селят,

Кроме,

Никого не селят,

Кроме,

Тех, кто там

Живет

Уже.

*В соавторстве с Вадимом Левиным

28. ПРО БЕЛУЮ ЛОШАДЬ

Белая лошадь с белым хвостом

И черная лошадь с черным хвостом

Вдвоем по поляне

Гуляли в тумане

И свежее сено нашли под кустом.

Белая лошадь с белым хвостом,

Сено доев, сообщила о том,

Что сено как сено,

Хотя, несомненно,

Сено не может сравниться с овсом.

29. И ПРО ЧЕРНУЮ ЛОШАДЬ

Черная лошадь с черным хвостом

С ней согласилась, добавив притом,

Что сахар не хуже,

И слаще к тому же,

Но реже, чем сено, лежит под кустом.

* В соавторстве с Вадимом Левиным и Ниной Воронель

30. КНИЖКИНА КОЛЫБЕЛЬНАЯ

За окошком ночь настала,
Где-то вспыхнули зарницы,
Книжка за день так устала,
Что слипаются страницы.
Засыпают понемножку
Предложенья и слова,
И на твердую обложку
Опускается глава.

Восклицательные знаки
Что-то шепчут в тишине,
И кавычки по привычке
Раскрываются во сне.
А в углу, в конце страницы,
Перенос повесил нос -
Он разлуку с третьим слогом
Очень плохо перенес.

Недосказаны рассказы,
Недоеден пир горой.
Не дойдя до этой фразы,
На ходу заснул герой.
Перестало даже пламя
Полыхать в полночном мраке,
Где дракон с одной драконшей
Состоит в законной драке.

Никого теперь не встретишь

На страницах спящей книги,

Только медленно плетутся

Полусонные интриги.

Дремлет юная невеста

По дороге под венец,

И заснули середина,

И начало

и

КОНЕЦ